Дмитрий
МАМИН-СИБИРЯК

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ОДНОМ ТОМЕ

Классика мировой литературы

МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

Дмитрий Мамин-Сибиряк. Избранные произведения в одном томе
//Интернет-издание (компиляция), 2019
FB2: , 24 May 2019, version 1.0
UUID: F31A9790-9368-4EAF-A02E-14F6C8A07952
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Мамин-Сибиряк

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ОДНОМ ТОМЕ

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) — великий русский писатель родился и большую часть жизни прожил на Урале. В историю русской литературы он вошел прежде всего как автор «уральских» романов, которые и принесли ему широкую известность. Все в них казалось необычным для читателей: и сам колорит сибирской жизни — природа, быт, традиции, народная речь, и новые герои — заводчики, старообрядцы, охотники, и их сильные, волевые характеры.

А. П. Чехов отзывался о произведениях Мамина-Сибиряка: «Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они все — зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей — сильных, цепких, устойчивых и черноземных людей, — то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них».

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В

своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Это один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

Содержание:

Дикое счастье
Золото
Приваловские миллионы
Хлеб
Горное гнездо
Черты из жизни Пепко
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (Сборник)
УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ (Из сборника)
СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ (Из сборника)
Три конца
Охонины брови
ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО (Воспоминания)
ЛЕГЕНДЫ (Из сборника)
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (Сборник)
АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ (Сборник)

fb 2
Библиотека Заярного О. А.

Содержание

#1 0015
ДИКОЕ СЧАСТЬЕ (Роман) 0030
#1 0030
Глава 1 0031
Глава 2 0045
Глава 3 0069
Глава 4 0096
Глава 5 0115
Глава 6 0130
Глава 7 0151
Глава 8 0169
Глава 9 0190
Глава 10 0208
Глава 11 0236
Глава 12 0257
Глава 13 0280
Глава 14 0306
Глава 15 0335
Глава 16 0358
Глава 17 0380
Глава 18 0397
Глава 19 0419
Глава 20 0446
Глава 21 0468
Глава 22 0483

Глава 23 0505
Глава 24 0527
Глава 25 0551
Глава 26 0561
ЗОЛОТО (Роман) 0570
#1 0570
Часть I 0570
Часть II 0705
Часть III 0824
Часть IV 0929
Часть V 1050
ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ (Роман) 1134
#1 1134
Часть I 1134
Часть II 1304
Часть III 1508
Часть IV 1661
Часть V 1768
ХЛЕБ (Роман) 1995
#1 1995
Часть I 1995
Часть II 2150
Часть III 2295
Часть IV 2441
Часть V 2587
Эпилог 2732
ГОРНОЕ ГНЕЗДО (Роман) 2838
#1 2838

Глава 1 2839
Глава 2 2854
Глава 3 2875
Глава 4 2889
Глава 5 2903
Глава 6 2928
Глава 7 2942
Глава 8 2966
Глава 9 2998
Глава 10 3019
Глава 11 3033
Глава 12 3046
Глава 13 3063
Глава 14 3077
Глава 15 3095
Глава 16 3115
Глава 17 3132
Глава 18 3145
Глава 19 3169
Глава 20 3204
Глава 21 3221
Глава 22 3238
Глава 23 3254
Глава 24 3272
Глава 25 3297
Глава 26 3325
Глава 27 3350
Глава 28 3373

Глава 29 3395
Глава 30 3421
Глава 31 3443
ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО (Роман) 3475
#1 3475
Глава 1 3475
Глава 2 3485
Глава 3 3494
Глава 4 3504
Глава 5 3513
Глава 6 3527
Глава 7 3539
Глава 8 3551
Глава 9 3564
Глава 10 3579
Глава 11 3594
Глава 12 3609
Глава 13 3617
Глава 14 3629
Глава 15 3643
Глава 16 3656
Глава 17 3670
Глава 18 3683
Глава 19 3696
Глава 20 3709
Глава 21 3722
Глава 22 3734
Глава 23 3746

Глава 24 3759
Глава 25 3772
Глава 26 3784
Глава 27 3796
Глава 28 3807
Глава 29 3818
Глава 30 3830
Глава 31 3843
Глава 32 3853
Глава 33 3864
Глава 34 3877
Глава 35 3890
Глава 36 3902
Глава 37 3914
Глава 38 3926
Глава 39 3938
Глава 40 3950
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (Сборник) 3961
#1 3961
Сестры (Очерк из жизни Среднего Урала) .3961
В камнях (Из путешествия по реке Чусовой) 4197
На рубеже Азии (Очерки из захолустного быта) 4273
«Все мы хлеб едим...» (Из жизни на Урале) 4460
В горах (Очерк из уральской жизни) 4558
Золотая ночь (Из рассказов о золоте) 4765

Последние клейма (Очерк) 4871
УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ (Из сборника) 4888
#1 4888
«В худых душах...» 4888
Башка (Из рассказов о погибших детях) . . 4938
На шихане (Из записной книжки охотника) . . . 5009
Бойцы (Очерки весеннего сплава по реке Чусовой) 5052
Золотуха (Очерки приисковой жизни) . . . 5332
Поправка доктора Осокина 5496
Первые студенты 5569
Из уральской старины 5654
Родительская кровь 5773
Лес (Психологический этюд) 5864
Озорник 5909
переводчица на приисках 5971
Доброе старое время 6082
Верный раб 6201
Вольный человек Яшка 6348
СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ (Из сборника) 6366
#1 6366
Сибирские орлы 6366
Главный барин 6384
Зверство (Летние эскизы) 6401
На перевале (Из осенних мотивов) 6419
Не у дел 6444
Подснежник (Очерк) 6468

Клад 6505
Морок (Очерк) 6541
Приисковый мальчик 6572
Крестник (Этюд) 6600
Удивленный человек (Очерк) 6619
Мизгирь 6637
Пир горой (Повесть) 6672
Не укажешь 6791
Оборотень 6807
Семейная радость 6824
Старики не запомнят 6837
Ночевка 6851
Друзья детства 6869
М-ме Квист, Бликс и К° (Очерк) 6893
Последняя веточка (Из старообрядческих мотивов) 6912
Сократ Иваныч (Глава из романа «Железный голод) 6956
В последний раз (Повесть) 6981
Старый шайтан 7058
В болоте (Из записок охотника) 7102
Говорок (Очерк) 7122
Комбинация 7168
Пан Копачинский (рассказ) 7228
Инфлуэнца (Монолог) 7250
Дорогие гости (Эскиз) 7267
Ночь (Эскиз) 7290
Крупичатая 7305

Авва (Очерк) 7334
Депеша 7456
По дешевой цене (Глава из романа) 7471
Самородок 7486
Глупая Окся (Эскиз) 7525
Таинственный незнакомец (Очерк) 7544
Седьмая труба (Эскиз) 7585
Попросту 7627
Хищная птица 7701
На «шестом номере» 7733
Ната 7815
Братья Гордеевы 7886
ТРИ КОНЦА (Роман) 8032
#1 8032
Часть I 8032
Часть II 8169
Часть III 8317
Часть IV 8459
Часть V 8582
Часть VI 8714
ОХОНИНЫ БРОВИ (Повесть) 8851
Часть I 8851
Часть II 8944
Послесловие 9064
ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО (Воспоминания) . 9073
#1 9073
ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ 9073
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИЛЬЩИКА 9277

О КНИГЕ 9291
ЗЕЛЁНЫЕ ГОРЫ 9323
ЛЕГЕНДЫ (Из сборника) 9381
#1 9381
Баймаган 9381
Лебедь Хантыгая 9404
Майя 9422
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (Сборник) . 9446
#1 9446
Емеля-охотник 9446
Зимовье на Студеной 9461
Постойко 9490
Приемыш 9508
Серая шейка 9525
Ак-Бозат 9542
В глуши 9569
Вертел 9597
Старый воробей 9628
Богач и Еремка 9646
АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ (Сборник) 9675
#1 9675
Присказка 9675
Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост 9676
Сказочка про Козявочку 9681
Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и мохнатого Мишу — короткий хвост 9687
Ванькины именины 9695

Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу 9709
Сказка о том, как жила-была последняя муха . . . 9721
Сказочка про Воронушку — чёрную головушку и жёлтую птичку канарейку 9737
Умнее всех 9752
Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке 9766
Пора спать 9774

Дмитрий МАМИН-СИБИРЯК
Избранные произведения в одном томе

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия — Мамин) родился в поселке Висим, в 40 километрах от Нижнего Тагила, что на границе Европы и Азии. Отец будущего писателя — потомственный священник. Семья большая (четверо детей), дружная, трудовая («без работы я не видел ни отца, ни матери»), читающая. В семье была большая библиотека: выписывали из Петербурга журналы, книги. Мать любила читать детям вслух.

О своем раннем детстве и о родителях писатель говорил: «Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека». Сохранились сотни удивительных писем Дмитрия Наркисовича к родителям, где он пишет «Мама» и «Папа» всегда с большой буквы. Но пришла пора учиться всерьез, а денег на гимназию у небогатого священника Мамина не было. Дмитрия и его старшего брата Николая увезли в Екатеринбургское духовное училище (бурсу), где когда-то учился их отец. Это было тяжелое время для Мити. Он считал годы в бурсе потерянными и даже вредными: «...училище не дало ничего моему уму, не прочитал ни одной книги... и не приобрел никаких знаний».

После духовного училища сыну священника был прямой путь в Пермскую духовную семинарию. Там у Дмитрия Мамина началась первая литературная работа. Но ему было «тесно» в семинарии, и курса будущий писатель не окончил. В 1872 году Мамин поступил на ветеринарное отделение Петербургской медико-хирургической академии. В 1876 году, не окончив академии, перешёл на юридиче-

ский факультет Санкт-Петербургского университета. Учиться ему было крайне трудно, отец не мог посылать денег. Студент часто голодал, был плохо одет. Дмитрий зарабатывал себе на хлеб тем, что писал в газеты. А тут еще и тяжелая болезнь — туберкулез. Пришлось бросить учебу и вернуться домой на Урал (1878 год), но уже в город Нижняя Салда, куда переехала его семья. Скоро умирает отец. Все заботы о семье берет на себя Дмитрий.

ПЕВЕЦ УРАЛА

Дмитрию Наркисовичу пришлось очень много работать, давать уроки: «Я три года по 12 часов в день бродил по частным урокам». Он писал статьи, занимался самообразованием. Переехал в Екатеринбург. Писал книги. Писатель исходил много дорог по Уралу, сплавлялся по уральским рекам, познакомился со многими интересными людьми, изучал архивы, занимался археологическими раскопками. Он знал историю Урала, экономику, природу, народные сказания и легенды. «Урал! Урал! Тело каменно, сердце пламенно» — это было его любимое выражение.

Свои первые журналистские работы будущий «классик» подписывал Д. Сибиряк. В те времена всё, что находилось за Уральским хребтом, называлось Сибирью. Романы он стал подписывать двойной фамилией Мамин-Сибиряк.

Признание пришло к писателю далеко не сразу. 9 лет он посылал в разные редакции свои произведения и всегда получал отказ. Лишь в 1881–1882 годах в московской газете «Русские ведомости» была напечатана серия очерков Д. Сибиряка «от Урала до Москвы». Талантливого провинциала заметили не издатели, а журналисты-радикалы. В петербургском подцензурном журнале «Дело» вышел ряд его очерков об Уральской земле, а впоследствии печатался и наиболее известный роман «Приваловские миллионы». Впрочем, для серьёзного писателя печататься в «Деле» 80-ых годов не представляло большой чести: журнал доживал свои последние дни и брал любой материал, допущенный цензурой (вплоть до бульварных романов). Произведения Мамина-Сибиряка заслуживали большего. Однако эта публикация позволила талант-

ливому писателю наконец «достучаться» до столичных издательств и стать известным не только на Урале, но и в европейской части великой страны.

Мамин-Сибиряк открыл миру Урал со всеми его богатствами и историей. О его романах нужно вести отдельный и серьезный разговор, который не впишется в рамки данного очерка. Романы потребовали от Мамина-Сибиряка огромного труда. Помощников и секретарей у писателя не было: приходилось много раз самому переписывать и редактировать рукописи, делать вставки, выполнять техническую обработку текстов. Мамин-Сибиряк отличался огромной работоспособностью как писатель и был талантлив во многих литературных жанрах: романах, повестях, рассказах, сказках, легендах, очерках. Жемчужины его творчества — «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото», «Три конца» — внесли огромный вклад в развитие русской литературы и русского литературного языка.

О языке этих произведений Чехов писал: «У Мамина все слова настоящие, да он и сам

ими говорит и других не знает».

ЖИЗНЬ НА ПЕРЕЛОМЕ

Дмитрий Наркисович приближался к своему сорокалетию. Пришло сравнительное благополучие. Гонорары от издания романов дали ему возможность купить дом в центре Екатеринбурга для матери и сестры. Он женился гражданским браком на Марии Алексеевой, которая оставила ради него мужа и троих детей. Она была старше его, известная общественная деятельница, помощница в писательской работе.

Казалось бы, есть всё, чтобы жить спокойной, счастливой жизнью, но у Дмитрия Наркисовича начался кризис «среднего возраста», за которым последовал полный духовный разлад. Его творчество не замечала столичная критика. Для читающей публики он по-прежнему оставался мало кому известным «талантливым провинциалом». Самобытность творчества уральского «самородка» не находила должного понимания у читателей. В 1889 году Мамин-Сибиряк пишет в одном из писем другу:

«... Я подарил им целый край с людьми,

природой и всеми богатствами, а они даже не смотрят на мой подарок».

Мучило недовольство собой. Не очень удачной была и женитьба. Не было детей. Казалось, жизнь кончается. Дмитрий Наркисович начал пить.

Но к новому театральному сезону 1890 года из Петербурга приехала красивая молодая актриса Мария Морицевна Гейнрих (по мужу и сцене — Абрамова). Они полюбили друг друга. Ей 25 лет, ему почти 40. Всё складывалось не просто. Писателя мучил долг перед женой. Муж не давал Марии развода. Семья Мамина-Сибиряка и друзья были против этого союза. В городе пошли сплетни, пересуды. Актрисе не давали работать, не было жизни и писателю. Влюбленным ничего не оставалось, как бежать в Петербург.

20 марта 1892 года Мария родила дочку, но сама умерла на следующий день после тяжёлых родов. Дмитрий Наркисович чуть не покончил с собой. От пережитого потрясения он плакал по ночам, ходил молиться в Исаакиевский собор, пытался залить горе водкой. Из писем к сестре: «У меня одна мысль о Мару-

се...Хожу гулять, чтобы громко разговаривать с Марусей». Из письма к матери: «... счастье промелькнуло яркой кометой, оставив тяжелый и горький осадок... Грустно, тяжело, одиноко. На руках осталась наша девочка, Елена — все мое счастье».

«АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ»

Елена-Аленушка родилась больным ребенком. Врачи говорили — «не жилец». Но отец, друзья отца, няня-воспитательница — «тётя Оля» (Ольга Францевна Гувале позже стала женой Мамина-Сибиряка) вытащили Алёнушку с того света. Пока Алёнушка была маленькой, отец днями и ночами сидел у её кроватки. Недаром её называли «отецкой дочерью». Можно сказать, что Мамин-Сибиряк совершил подвиг отцовства. Скорее он совершил три подвига: нашел в себе силы выжить, не дал пропасть ребенку и снова начал писать.

Отец рассказывал девочке сказки. Сначала он рассказывал те, что знал, потом, когда они закончились, начал сочинять свои. По совету друзей Мамин-Сибиряк стал их записывать и собирать. Алёнушка, как и все дети, обладала

хорошей памятью, поэтому писателю-отцу нельзя было повторяться.

В 1896 году «Алёнушкины сказки» вышли отдельным изданием. Мамин-Сибиряк писал: «...Издание очень милое. Это моя любимая книга — её писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное». Эти слова оказались пророческими. Его «Алёнушкины сказки» ежегодно переиздаются, переводятся на разные языки. О них много написано, их связывают с фольклорными традициями, умением писателя занимательно преподнести ребёнку важные нравственные понятия, особенно чувство доброты. Не случайно язык «Алёнушкиных сказок» у современников назывался «Мамин слог». Куприн писал о них: «Эти сказки — стихотворения в прозе, художественнее тургеневских».

Мамин-Сибиряк в эти годы пишет редактору: «Если бы я был богат, то посвятил бы себя именно детской литературе. Ведь это счастье — писать для детей».

Надо только представить, в каком душевном состоянии он писал эти сказки! Дело в том, что у Дмитрия Наркисовича не было ни-

каких прав на своего ребёнка. Алёнушка считалась «незаконнорожденной дочерью мещанки Абрамовой», а первый муж Марии Морицевны из мести не давал разрешения на её удочерение. Мамин-Сибиряк доходил до отчаяния, собирался даже убить Абрамова. Только через десять лет, благодаря усилиям жены писателя — Ольги Францевны — разрешение было получено.

«СЧАСТЬЕ ПИСАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Мамин-Сибиряк задолго до «Алёнушкиных сказок» знал это счастье. Ещё в Екатеринбурге был написан первый рассказ-очерк для детей «Покорение Сибири» (а всего детских произведений у него около 150!). Писатель посылал свои рассказы в столичные журналы «Детское чтение», «Родник» и другие.

Все знают сказку «Серая шейка». Она вместе с «Алёнушкиными сказками» вошла в сборник «Сказки русских писателей» (в серии «Библиотека мировой литературы для детей»). Когда сказка была написана, у неё был грустный конец, но позже Мамин-Сибиряк дописал главу о спасении Серой шейки. Сказку много раз издавали — и отдельно, и в сборни-

ках. Много сказок до последних лет не были опубликованы. Теперь они возвращаются к читателям. Сейчас мы можем прочитать «Признание старого петербургского кота Васьки», написанное ещё в 1903 году, и другие.

С раннего детства известны всем рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Емеля-охотник», «Зимовье на Студёной», «Вертел», «Богач и Еремка». Некоторые из этих рассказов были высоко оценены еще при жизни писателя. «Емеля-охотник» был награжден Премией педагогического общества в Петербурге, а в 1884 году получил Международную премию. Рассказ «Зимовье на Студёной» был удостоен в Золотой медали Санкт-Петербургского комитета грамотности (1892).

ЛЕГЕНДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАМИНА-СИБИРЯКА

У писателя был давний интерес к народным легендам, особенно к созданным коренным населением Урала и Зауралья: башкирами, татарами. Раньше часть коренного населения называлась кыргызами (они упоминаются в легендах Мамина-Сибиряка). В 1889 го-

ду он писал в общество Российской словесности: «Мне бы хотелось заняться собиранием песен, сказок, поверий и других произведений народного творчества», просил дать ему на это разрешение. Разрешение — «Открытый лист» — было выдано Мамину-Сибиряку.

Он хотел написать историческую трагедию про хана Кучума, но не успел. Написал только пять легенд. Они вышли отдельной книгой в 1898 году, которая позже не переиздавалась. Часть легенд входила в собрания сочинений Мамина-Сибиряка, самая известная из которых «Ак-Бозат». В легендах сильные, яркие герои, их любовь к свободе, просто любовь. Легенда «Майя» явно автобиографична, в ней ранняя смерть героини, оставившей маленького ребенка, бесконечное горе главного героя, очень любившего жену, да и созвучие имен — Майя, Мария. Это личная песнь о горькой любви, о тоске по умершей любимой.

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ И СКАЗКИ МАМИНА-СИБИРЯКА

Сын священника, человек верующий, Мамин-Сибиряк писал и для взрослых, и для детей святочные, рождественские рассказы и

сказки. После 1917 года их, естественно, не печатали. Во времена борьбы с религией эти произведения невозможно было увязать с именем писателя-демократа. Теперь они стали публиковаться. В святочных рассказах и сказках Мамин-Сибиряк проповедует идеи мира и согласия между людьми разных национальностей, разных социальных слоев, разного возраста. Они написаны с юмором, оптимизмом.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Последние годы писателя были особенно трудными. Он много болел сам и очень переживал за судьбу дочери. Похоронил самых близких друзей: Чехова, Глеба Успенского, Станюковича, Гарина-Михайловского. Его почти перестали печатать. 21 марта (роковой день для Мамина-Сибиряка) 1910 года умирает его мать. Это была для него огромная потеря. В 1911 году писателя разбил паралич.

Незадолго до смерти он писал другу: «...Вот и конец скоро... Жалеть мне в литературе нечего она всегда для меня была мачехой... Ну, и черт с ней, тем более, что меня лично она переплетена была с горькой нуждой, о ка-

кой не говорят даже самым близким друзьям».

Приближался юбилей писателя: 60 лет со дня рождения и 40 лет литературной работы. О нём вспомнили, пришли поздравить. А Мамин-Сибиряк был в таком состоянии, что уже ничего не слышал. В свои 60 лет он казался дряхлым стариком с потухшими глазами. Юбилей был похож на панихиду. Говорили хорошие слова: «гордость русской литературы», «художник слова»... Подарили роскошный альбом с поздравлениями и пожеланиями. В этом альбоме были слова и о его работах для детей: «Вы открыли свою душу нашим детям. Вы поняли и полюбили их, а они поняли и полюбили Вас...»

Но «признание» пришло слишком поздно: Дмитрии Наркисович умер через шесть дней (ноябрь 1912 года). После его смерти ещё шли и шли телеграммы с поздравлениями к юбилею. В столичной печати не заметили ухода Мамина-Сибиряка. Только в Екатеринбурге друзья и почитатели его таланта собрались на траурный вечер. Похоронили Мамина-Сибиряка рядом с женой на кладбище Алексан-

дро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

(Роман)

Бродяга-золотоискатель на смертном одре рассказывает о найденной богатой золотоносной жиле Брагину Гордею Евстратычу, главе патриархального семейства среднего достатка. И потекли в семью шальные деньги, а вместе с ними распри и раздоры среди родных и близких. Лёгкие деньги так же легко и ушли, оставив после себя поломанные судьбы, слёзы и горе.

Глава 1

— Господи Исусе Христе, помилуй нас...

— Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

— Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, — во как зарядил!

— Откедова Бог несет?

— В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его...» — ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее

принялась греметь своей железной цепью.

— Ну, едва тебя Бог простил с запором-то... — проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

— Ты востер больно... Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

— Ладно, как пересобачил лошадь-ту, — говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

— За долгами отец посылал, — коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. — В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась...

— Знамо дело, не так же ее бросить... Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, — ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. — Эх, как пере-

собачил... Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

— Так ты уж тово, Зотушка... Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

— Ладно, ладно... Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить — только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь этот Михалко! — думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. — Нет чтобы дать дяде пятачок... А-ах, чтоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со

вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой... помилуй нас грешных! Ведь всего один пятачок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни... Просил даве у старухи червячка заморить — в шею выгнала... Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой — угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой

старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

— Нет, видно, не вышлют... — решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. — Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вы-

нул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», — подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода — всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины прохо-

дили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной во-

люшке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыд-

ливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

— Будет вам лясы-то точить, — строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. — Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик...

— Ну не буду, мамынька, — оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. — Пошутил, и кончено...

— Уж бабушка всегда у нас такая... — прибавила Нюша.

— Какая такая? — сердито заговорила Татьяна Власьевна. — Ну, говори, верченая!..

— Да такая... слово сказать нельзя.

— Ох, ты-то — невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот...

Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет... Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто

повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать... У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти — тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка...» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся

в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

— А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое...

Он замялся и почесал у себя в затылке.

— Пойдем ко мне в горницу, — проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год при-

нять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» — являлось железным законом.

— Ну что, Миша?.. — спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

— Да вот, тятенька... я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, — неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

— Это из Полдневской?

— Да. От Маркушки... Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, — говорит, — увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, — говорит, — ему поглянется — пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких

блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника... Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

— Жилка... — в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. — Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

— Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? — спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. — За долг?

— Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Пол-

дневскую. «Надо, — говорит, — мне с Гордеем Евстратычем переговорить...» Крепко наказывал.

— А про жилку-то он тебе говорил или нет?

— Только всего и сказал: «Покажи, — говорит, — тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее...» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

— Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? — спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

— Да, совсем в худых душах...[1] Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

— Все это вздор, Миша... Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

Глава 2

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, — вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканные из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в

длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства

раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву — это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

— А ты, баушка, на меня не сердишься? — спрашивала Нюша впросонье.

— Отстань, — с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

— В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка... Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?

— Отстань!..

— Феня такая счастливая... — с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. — У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному... Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.

— Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой... Ох, ужо повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному по-

толку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

— Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, — начинает Нюша, сладко позевывая. — А знаешь, сколько он за него заплатил?

— Отстань...

— Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

— Тьфу!.. тьфу!.. — отплевывалась старуха. — Провались ты с своим Вуколом Логинычем... Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч... Тьфу!..

— Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых... Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

— Как семьдесят?

— Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик...

— Ох, дурак, дурак этот Вукол... Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостев... семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков... Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то... Теперь взять хоть Настю Шабалину — вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу

срамит... Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, — пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать... А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых — нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор.

Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, — как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок —

тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мёртвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

— Слава тебе, Господи! — прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку

шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

— Господи Исусе Христе, Сыне Божий... — шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пе-

режито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» — шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю — сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не

чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика... Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода — ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, — именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее... Татьяна Власьевна видит себя пятнадцатилетней девушкой — она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помири-

лась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки... Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец — суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай... И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную... Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю — и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил... Прости и его согрешения, Господи... А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управи-

тель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек — глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании...

— Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? — спросила Татьяна Власьевна. — Точно сказать что-то хочешь...

— Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу... — ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

— Ну так говори...

— А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьев-

на: погубила ты меня, иссушила!.. Господь тебе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

— Гоните меня, Татьяна Власьевна... — тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. — Гоните...

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее... Красивая она была тогда да молодая, — кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, — бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна,

жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.

— Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, — заговорила она, когда немного пришла в себя. — Опозорил мою головушку... Как я теперь на мужа буду глядеть?

— Голубушка, Татьяна Власьевна... Мой грех — мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе... Прогонишь меня — один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница... Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

— Уходи, Поликарп Семеныч... Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

— Прощай, чужая жена — моя погибелюшка, — проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и

не оглядывается... Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

— Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех... — пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое... Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь — не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила пре-

лесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за

свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девятин Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

— Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай... Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

— Как же это, Таня...

— Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь... Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик... не поминай лихом...

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

— А я буду молиться за тебя Богу, — уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу — ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец — строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни началила — из Зотея ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это — путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, — благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, — думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. — Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яр-

кие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, — значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? — подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. — Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно — сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая... Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему... Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти ста-

ратели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

— Ты что это, Гордей? — спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. — Уж не попритчилась ли какая немочь?

— Нет, мамынька... Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

— Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

— Гонял, да без толку... Самому надо съездить.

Глава 3

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

— Я сам поеду, — прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома — раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду...» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути — в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места... Все эти мысли промельк-

нули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь?

— Значит, какое-нибудь дело завелось, — решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.

— Зачем в Полдневскую-то наклался? — спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

— Дельце есть маленькое... После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

— Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

— Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать... Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать...

— Подождите с книгой-то, Гордей Евстра-

тыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем...

— Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

— Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным — непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю... По пути и забежит, от Пятовых-то.

— Как знаешь.

Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика — туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел,

чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ощип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» — подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожках настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

— Куда Бог несет, Гордей Евстратыч? — издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. — Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить... Уж

не на охоту ли собрался?

— Какая у нас охота, Вукол Логиныч... — ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал... — припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. — Тьфу ты, греховодник... Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее вы-

ехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор — все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает... — подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. — Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам... Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят... Вот лошадь-то какая — зверь зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному

виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по планту» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные — отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась право-

славная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка — и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за

косогором, гора за горой... Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной трущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы — восемь верст, две версты подался — ключик из косогора бежит, значит — половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред

собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, — и только. Сыт, одет, ну, копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча... А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да... В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое приволь-

ное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует... То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом... Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», — раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом... Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, стано-

вой Плинтусов даже спит с ним на одной постели... От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да... Вон Нюша на возрасте — ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться — и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», — невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль — шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки — трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гор-

дей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

— В которой избе живет Маркушка-старатель? — спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

— Ну народец!.. — проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей — составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, — вот и все. «Ну народец! — еще раз подумал Брагин. — В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики...»

— Господи Исусе Христе... — помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

— Аминь... — отдал из комнаты чей-то хриплый голос. — Это ты, Гордей Евстратыч?

— Я, Маркушко...

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

— Ну что, плохо тебе? — спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.

Куча тряпья зашевелилась, раздался тот

же кашель.

— Надо... надо... больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, — отозвалась голова Маркушки. — Думал, не доживу... спасибо после скажешь Маркушке... Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

— Надо за попом послать?

— Где уж... нет... вот ужо я тебе все обскажу...

Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

— Видел жилку-то? — глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

— Видел...

— Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч... да... пуще глазу своего берег... Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу... Человека я порешил... штегеря, давно это было... Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой... да... думал отмолить, а тут смерть пришла... ну, я тебя и вспомнил... Видел жилку? Но богачество... озолочу тебя,

только по гроб своей жизни отмаливай мой грех... и старуху свою заставь... в скиты посылай...

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

— Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать... Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.

— А ежели ты обманешь, Маркушка?

— Нет, Гордей Евстратыч... Ох, тошнехонько!.. нет, не обману... Не для тебя соблюдал местечко, а для себя... Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

— Ладно, поклянусь...

— Исусовой молитвой поклянись!

— Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь... Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь — так о тебе особая и молитва.

— Думал я про Шабалина... — заговорил

Маркушка после тяжелой паузы. — Он бы икону снял со стены... да я-то ему, кровопивцу, не поверю... тоже вот и другим... А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч... особливо твою мамыньку, Татьяну Власьевну... ее-то молитва доходнее к Богу... да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?

— Нет, Маркушка, это грешно... Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещевался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

— Ну, слушай, Гордей Евстратыч... Робили мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных... шахту били... много они денег просадили на нее... я ходил у них за штегеря... на восемнадцатом аршине напали на жилку... а я сказал, что дальше незачем рыть... От всех скрыл... ну, поверили, шахту и бросили... Из нее я тебе жилку с Михалком послал...

— Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

— Нельзя было... по малости ковырял, а чтобы настоящим делом — сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться... надо капитал... с начальством надо ладить... А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы... пустяк... Шабалин обещал двадцать целковых.

— Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? — заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

— Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч... а как Шабалин делает...

россыпью объяви... а в кварце, мол, золото попадается только гнездами... это можно... на это и закона нет... уж я это знаю... ну надо замазать рты левизорам да инженерам... под Шабалина подражай...

— Хорошо, там увидим... Ты расскажи, где жилку-то искать?

— А вот как ее искать... Ступай по нашей Полуденке кверху... верстах в пяти в нее падает речка Смородинка... по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная... от Смородинки возьми на Заразную... тут пойдет увал... два кедра увидишь... тут тебе и жилка...

Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

— Все? — спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

— Все... ах, еще вот что, Гордей Евстратыч... угости, ради Христа, водочкой наших-то... пусть погуляют...

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы,

точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой иероглифами.

— Славные ребята... — умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. — Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой... пусть не поминают лихом Маркушку... Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

— Тебе бы выпить самому-то, Маркушка... Может, облегчит...

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку... Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное суще-

ство и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки...

— Как же это вы живете здесь, — удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, — хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть...

— Нам невозможно без водки... — отрезал кривой мужичонко. — Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет...

Кайло — рыжий детина с оловянными глазами — и Пестерь — мужик в шапке — в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хоро-

шим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

— Нá, пей, Домашка... — говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

— Зачем ты ее поишь? — спросил Гордей Евстратыч.

— Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! — удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

— Домашка у нас молодец... — отозвался с своего ложа Маркушка. — Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч... ей тоже без водки-то невозможно...

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила

налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Ро́спитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У... язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок

и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

— Так уж ты тово... не забывай их... — хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.

Глава 4

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно — она никак не могла разгадать.

— Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, — заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. — Вот, погляди, какую игрушку добыл...

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку «игруш-

ку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

— Никак золото... — недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

— Да, мамынька... настоящее червонное золото, — уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. — Бог его нам послал... видно, за родительские молитвы.

— Что-то невдомек мне будет, милушка.

Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел.

— Вот поклялся-то напрасно, милушка... — строго проговорила старуха, подбирая губы. — Этакое дело начинать бы да не с клятья, а с молитвы.

— Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, — тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому... Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к

Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

— Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколко! — со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. — Уж успел пронюхать... Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

— Вернее смерти, потому — Маркушка сам мне говорил...

— А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку... тому же Вуколу.

— Нет, мамынька... Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено...

— Как же это так вдруг, милушка... — опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. — Как будто даже страшно: всё торговали, как другие, а тут золото искать... Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

— А у Вукола вон какой домина схлопан —

небось, не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам Господь за родительские молитвы счастье посылает... Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи...

— Уж это что говорить, милушка... Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно... И молитва там, и милостыня, и сорокоуст — все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень...

— Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, — с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. — Ему небось ничего не страшно... Все слопает. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

— Да разве я говорю, что жилку Вуколу от-

дать? — тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. — Надо подумать, посоветоваться.

— С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава богу, не двух по третьему...

— С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

— Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок...

Старшая невестка, Ариша, была колобовской «природы», а младшая, Дуня, — савиновской, поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова, — рассуждала про себя Татьяна Власьевна. — Недаром два раза в

волостных старшинах сидел... Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по Писанию, только нá, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

— А я вот что тебе скажу, милушка... Жили мы, благодарение Господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту

жилку в дом, как сейчас и начал вздорить... Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки... Погляди-ко, ты остребенился на сватьев-то... Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом...

— Мамынька, ради Христа, прости меня дурака... — взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. — Это я так... дурость нашла.

— Надо повременить, Гордей Евстратыч.

— Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется...

— Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чув-

ства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная нежданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченною доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей

патриархальной простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о. Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами; выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которою о. Крискент гордился в особенности.

— А... дорогая гостья! Сколько лет, сколько зим не видались, — приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с

гранеными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадушке дополняли картину. Сам о. Крискент — низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, — принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом проницательными темными глазками, которые постоянно улыбались, — особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий

неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе — середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадается среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к о. Крисценту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители-священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел вовремя согласиться — это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крисценте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его до-

мика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека, в сущности, сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

— Садитесь, Татьяна Власьевна... Ну, как вы поживаете? — говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. — Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят... Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

— А я пришла к вам по делу, отец Крискент... — заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. — И такое дело, такое дело вышло — дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

— Так, так... Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, — мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. — Человек предполагает — Бог располагает. Это уж

не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать... Как сказал апостол: «Претерпевый до конца, той спасен будет...» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о. Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывавшая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

— Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? — спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

— Я боюсь, отец Крискент... Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно сделается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло...

— Так, так... Конечно, богатство — источник многих злоключений... особенно при наших слабостях, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем де-

сять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, по добре расточих», примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве Господней... Я лично смотрю на богатство как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

— А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? — спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейско-

го. — Это от одного разговору, отец Крискент! А что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется... Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя этакое благочестие... Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

— Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу... Вот она и служит, Татьяна Власьевна! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью... Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения: разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет

иконостас заводить, ризницу подновлять — да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства.

— Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьевна.

— Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, — говорила в раздумье Татьяна Власьевна, — если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников...

— Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах... Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменил тон и заговорил о тленности всего

земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

— Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? — переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

— О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку...

— Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам Промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее.

— Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: «берите жилку» и не говорил — «откажитесь»... — ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы

своего камлотового подрясника. — Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка, Дуня?

— Слава богу, отец Крискент, слава богу... Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, Богородица... Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал.

— Слава богу, слава богу... — повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горнице» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как набольшие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотуш-

ка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

— Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, — говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. — Как ты думаешь, брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

— А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли... Вот что!.. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь... От этого золота один грех...

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова!.. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

— Только поскорее... — торопила теперь старуха. — Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку...

Глава 5

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко, и гремела недаром: невесты были на подбор — высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и

обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль... У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест — все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались — по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах; не ровен час, попритчилось что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы как своих ушей таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

— Мы этих на племя оставили, — шутили старики Колобовы и Савины, — а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны... Этак, пожалуй, всю на-

шу белоглинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Нюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычаи». Жили крепко, по-старинному, до новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь — и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных — весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским товаром» особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отрасля-

ми торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно этот завалявшийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

— Уж брошу же я эти панские товары! — в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Нюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. — Просто житья не стало... Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не

желтого, а «ранжевого». А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода и остатков да обрезков не полагается. Вот ужо брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом. Вон Пазухины живут себе как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки мученической.

— Тоже и с хлебом всяко бывает, — степенно заметит Татьяна Власьевна. — Один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь... Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала... Четыреста рубликов из кармана.

— А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшком Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» — это было свое-

го рода законом для всего брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья — все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с целую комнату; ее топили особенными полутораршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, «голанку», — и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

— В самом деле, Гордей Евстратыч, — уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, — вот у меня на целый дом всего две маленьких печи — и тепло, как в бане. Вот бы

вам...

— Это батюшкову-то печь ломать? — изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. — Что вы, что вы, отец Крискент... Нет, этому не бывать, потому это какая печь — батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся — он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна... Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь...

— Да, оно, конечно... пожалуй... нынешние кирпичи ничего не стоят, — соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч походил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредото-

ченный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще напиться чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время — утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая — все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в

праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил недоканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», — говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью — оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрязг

и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В дванадесятые праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие,

когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, — он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастия и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к

ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим — это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей стари-

ны. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого

организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить...» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком и из нее подчас можно было веревки вить.

— Ох, мудреная ты моя головушка, — иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. — Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

— А так и буду... Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

— Ах, ну тебя совсем... Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница

Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без урода.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей — он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам: отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

Глава 6

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов — самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастием вроде того, если бы кого продернули в газетах.

— А у Брагиных-то не того... — заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребе приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

— А что, Марфа Петровна? — осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

— Да так!.. неладно, — нарочно тянула

Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

— Уж не болен ли кто? — сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно

самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу, невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно...

— В самом деле, не прихворнул ли у них кто? — спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

— Нет, все здоровы, а только что-то неладно... Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни...

— Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Нюшу, или, может, письмо откуда получили?.. Вообще это неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстя-

ную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», — подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда

стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

— Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, — ласково встретила Матрена Ильинична гостью. — А мы тут совсем мохом обросли без тебя...

— То-то, поди, соскучились? — отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спо-

койно-добродушный тон важной старухи. — Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

— На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит... А что?

— Да я так сказала... живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.

— А как Кондрат Гаврилыч? — тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

— Чего ему делается... — нехотя ответила Матрена Ильинична. — Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь... А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то!

— Я ничего, Матрена Ильинична... ей-богу... Я так сказала...

— Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась...

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде-племени.

— А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, — успокаивала Марфа Петровна, — а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых... Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной — водой не разлить...

— Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, — стонала Матрена Ильинична. — Внове ее дело, долго ли до какой напасти...

— Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

— Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский

дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбавшимися глазами, — Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя; Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, — она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишка-

ми, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

— Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, — встретила свою гостью Агнея Герасимовна. — Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, — продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Аг-

нею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:

— Чуть-чуть не захлестнуло... И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершной, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, — грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик... А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской — некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Вла-

сьевне было ходить к о. Крисценту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками... Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

— И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, — выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, — непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, — компанию будут водить только с становым да

с мировым...

— Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

— Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок... Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне — ну, родня, свои люди, — а вам скажу. Вот сами увидите... Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют...

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой приск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, — думала Пелагея Миневна. — Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо...»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, както всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.

— Вот чему не потеряться-то... — смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. — Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?

— У вас, Анна Гордеевна, всегда такие сло-

ва... как ножом по сердцу режете...

— Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже... А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин — и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались... Позабыл, видно?

— Мало ли что прежде было... И теперь можно бы когда вечерком по улице на саночках прокатиться... Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

— А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться... Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди... Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли... Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Во-

лодьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, — из игры да из песни слова не выкинешь... За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным на-

казанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

— Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? — иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. — Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю... К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха...

— А что же мне делать, если никого другого нет... Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова... Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

— Уж и нашли же вы сокровище... Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку...

— Это все бабушка, Феня... А у ней извест-

ная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме — сама и маленькая... Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай... А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

— Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело...

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай — он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха — борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали меж-

ду собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни по-

решить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гнеденького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, — Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и — в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в на-

ступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу.

— Молодец, если умел Сила Пазухина поучить... — говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. — Есть сноровка... молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом... Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены.

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.

Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе — ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

— И хорошо, что не в отца пошел, — гово-

рила она, — с таким бойцом жить — без ребрышка ходить... А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

Глава 7

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не

доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безыменной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был — проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

— Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, — говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, — да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки... Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

— А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

— Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спущаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку

Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое — косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

— Здесь... — говорит Евстратыч, подъезжая к кедрам.

Они спешились. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой мо-

лодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

— Ну, теперь нужно будет лезть туда, — проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. — Одним концом захватим за кедры, а другой в яму спустим... Маркушка сказывал — шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.

— Как бы, тятенька, не оборваться, — заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. — Я полегче вас буду — давайте я и спущусь...

— Нет, я сам...

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного

колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, — это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему со-

кровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», — думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует — и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное — позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог

Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.

— А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? — говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

— Нет... невозможно, — хрипел Маркушка, не поворачивая головы. — Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают... Только деньги да время задарма изведешь... прожженный народ наши приисковые... чистые варнаки... Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают... нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись...

— Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

— Ах, какой же ты, право, непонятный... Знамо дело, что не дадут. Я уж тебе говорил, что надо под Шабалина подражать... он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным... Есть тут один анжинер — тебе уж к нему в правую ногу придется...

— Да кто такой?

— А Лапшин, Порфир Порфирыч... ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, — он все оборудует левой ногой... уж я знаю эту канитель... Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то... только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то, как лягушку, раздавят...

— Не люблю я этих чиновников, Маркушка... Нож они мне вострый!

— Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно...

— А я этого Порфира Порфирыча даже очень хорошо знаю. Не один раз у меня в лавке бывал... Все платки кумачные покупал...

— Пьяный?

— Навеселе...

— Ну, обнаковенно. У него зараза: платки девкам в хоровод бросать... Прокурат он, Порфир-то Порфирыч, любит покуражиться; а так — добреющая душа, — хоть выспись на нем... Он помощником левизора считается, а от него все идет по этим приискам... Недаром Шабалин-то льнет к нему... Так уж ты прямо

к Порфиру Порфирычу, объявишь, что и как; а он тебя уж научит всему...

Крепко не хотелось Гордею Евстратычу связываться с крапивным семем, но выбирать было не из чего. Надо было ковать железо, пока оно горячо; а бог знает, что еще впереди. Бывая в Полдневской, Гордей Евстратыч несколько раз предлагал Маркушке перевести его в Белоглинский завод к себе в дом; но Маркушка ни за что не хотел оставлять своего логовища и не мог даже себе представить, как он умрет не в Полдневской. Делать нечего, пришлось устраивать Маркушку в его теперешнем помещении, что было очень трудно сделать. Балаган Маркушки промерзал со всех четырех углов, в пазы везде дуло, дым ел глаза, и при всем том не было никакой возможности его поправить хотя сколько-нибудь. Для первого раза Гордей Евстратыч устроил Маркушке постель, послал теплое меховое одеяло, белье, разного харчу, сальных свеч и т. д.

— Я тебе доктора пошлю, он тебя вылечит, — несколько раз предлагал Брагин.

— Нет... какой уж тут доктор, — с безна-

дежной улыбкой говорил Маркушка, делая напрасное усилие улыбнуться. — Ваши доктора только уморят... я у старух пользуюсь...

— Да чем они тебя лечат, старухи-то?

— Средствие такое есть... пью настой из черных тараканов...

Маркушка был фаталист и философ, вероятно, потому, что жизнь его являлась чем-то вроде философского опыта на тему, что выйдет из того, если человека поставить в самые невозможные условия существования. С двенадцати лет Маркушка пил водку и курил табак: каторжная приисковая работа чередовалась с каторжным бездельем. Середины ни в чем не было, и, вероятно, на этом основании Маркушка создал себе ее искусственно в форме водки. Благодаря этому радикальному средству печень Маркушки весила тридцать фунтов, а он чувствовал, что у него в боку лежит точно целый жернов.

— Это от болоней, — объяснил Маркушка со слов пользовавших его старух. — Все ничего, а как болонь в человеке повреждена — тут уж шабаш... Наши полдневские все от болоней умирают.

Гордею Евстратычу приходилось отыскивать инженера Лапшина, который официально жил в Сосногорском заводе, около которого по преимуществу были разбросаны золотые прииски. От Белоглинского завода до Сосногорского считалось верст двести, но «для милого дружка и семь верст не околица». Нечего делать, кое-как управив свои торговые делишки и перехватив на всякий случай деньжонок, Гордей Евстратыч тронулся в путь-дорогу. Осенняя распутица была в самом разгаре, точно природа производила опыты над человеческим терпением: то все подмерзнет денька на два и даже снежком запорошит, то опять такую грязь разведет, что не глядели бы глаза. Уральские дороги вообще не отличаются удобствами, но в распутицу они превращаются в пытку, и преступников вместо каторги можно бы наказывать тем, что заставлять их путешествовать в осеннюю и весеннюю распутицу по Уралу. В Сосногорский завод Брагин приехал на седьмой день, хотя ехал день и ночь; но, на его несчастье, Лапшин только что уехал под Верхотурье ревизовать Перемытые прииски. Передохнул

Брагин денек в Сосногорске; дальше проживаться даром было нечего, а домой возвращаться с пустыми руками было совестно, — он решил ехать вслед за Лапшиным, чтобы перехватить его где-нибудь на дороге, благо к Верхотурью было ехать в свою же сторону, хотя и другими дорогами. До Перемытых приисков было верст сто с небольшим; но там Брагин опять не застал Лапшина, который только что укатил обратно, в Сосногорск. Приходилось опять тащиться назад. Терпение Гордея Евстратыча подверглось настоящему испытанию, но он решился добиться своего и поймать Лапшина во что бы то ни стало.

На этот раз Порфир Порфирыч был дома. Он жил в одноэтажном деревянном домишке, который и снаружи и внутри отличался величайшим убожеством, как богадельня или солдатская казарма. В передней денщик чистил сапоги и на вопрос Гордея Евстратыча, можно ли будет видеть барина, молча указал сапожной щеткой на открытую дверь в следующую комнату. Сотворив про себя приличную случаю молитву, Гордей Евстратыч перешагнул порог и очутился в совершенно пустой ком-

нате, в которой, кроме дивана да ломберного стола, решительно ничего не было. На диване в одной рубахе и форменных штанах с голубой прошвой лежал низенького роста господин с одутловатым и прыщеватым лицом, воспаленными слезившимися глазами и великолепным сизым носом. Это и был сам Порфир Порфирыч.

— Порфиру Порфирычу-с... — нерешительно заговорил Брагин, отвешивая купеческий поклон.

— Тэк-с... Порфиру Порфирычу сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой... Так? Из белоглинских? Так... Помню. Платки еще девкам покупал...

— Точно так-с, Порфир Порфирыч.

— Садись — чего стоять-то? Ноги еще, может, пригодятся... Сенька!

— Сичас, вашескородие... — послышалось из передней.

— Давай стул, че-орт!..

— Сичас, вашескородие...

— Ну, садись не то ко мне на диван, пока там что...

— Ничего-с, постоим-с...

— Да ты садись: знаешь мой характер?

Гордей Евстратыч осторожно присел на самый кончик дивана, в самых ногах у Порфира Порфирыча, от которого так и разило перегорелой водкой. Порфир Порфирыч набил глиняную трубку с длиннейшим чубуком «Жуковым» и исчез на время в клубах дыма.

— Ну что, золото нашел? — заговорил Порфир Порфирыч после небольшой паузы.

— Точно так-с... Есть такой грех.

— Все грешны, да Божьи, и девать нас некуда. Богатое?

— Еще не знаю, Порфир Порфирыч...

— Ой, врешь, по роже твоей вижу, что врешь... Ведь ты обмануть меня хочешь? А потом хвастаться будешь: левизора, дескать, облапошил... Ну, голубчик, распоясывайся, что и как. Я человек простой, рубаха-парень. Семен!

— Сичас, вашескородие...

— Дурак!.. Ну-с, так как это у вас все случилось, расскажите. А предварительно мы для разговору по единой пропустим. У меня уж такое правило, и ты не думай кочевряжиться. Сенька двухголовый! Подать нам графин вод-

ки и закусить балычка, или икорки, или рыжичков солененьких...

Семен на этот раз не заставил себя ждать, и на ломберном столе скоро появилась водка в сопровождении куска балыка. Выпили по первой, потом по другой. Гордей Евстратыч рассказал свое дело; Порфир Порфирыч выслушал его и с улыбкой спросил:

— Все?

— Точно так-с, Порфир Порфирыч.

— Своим умом дошел или добрые люди научили всю подноготную выложить?

— Был такой грех, Порфир Порфирыч...

— То-то, был грех. Знаю я вас всех, насквозь знаю! — загремел Порфир Порфирыч, вскакивая с дивана и принимаясь неистово бегать по комнате. — Все вы боитесь меня как огня, потому что я честный человек и взяток не беру... Да! Десять лет выслужил, у другого сундуки ломились бы от денег, а у меня, кроме сизого носа да затвердения печенки, ничего нет... А отчего?.. Вот ты и подумай.

— Уж не оставьте, Порфир Порфирыч. На вас вся надежда, как, значит, вы все можете...

— Женат?

— Вдов.

— Дети есть?

— Два сына женатых, дочь...

— Замужем?

— Нет.

— Молоденькая?

— Заневестилась недавно.

— Хорошенькая?

— Не знаю уж, как кому покажется...

— Ну, отлично. Я люблю молоденьких, которые поласковее... Знаешь по себе, что всякая живая душа калачика хочет!.. Ты хотя и вдовец, а все-таки живой человек...

— Я уж старик, Порфир Порфирыч, у меня и мысли не такие в голове.

— Опять врешь... Знаешь пословицу: стар, да петух, молод, да протух. Вот посмотри на меня... Э! я еще ничего... Хе-хе-хе!.. Да ты вот что, кажется, не пьешь? Не-ет, это дудки... Золота захотел, так сначала учись пить.

— Увольте, Порфир Порфирыч. Ей-богу, больше натура не принимает.

— Враки... Пей!.. Вон Вуколко ваш, так тот сам напрашивается. Ну, так жилку нашел порядочную, Гордей Евстратыч? Отлично... Мы

устроим тебя с твоей жилкой в лучшем виде, копай себе на здоровье, если лишние деньги есть.

— Уж как Господь пошлет...

Эта деловая беседа кончилась тем, что после четырех графинчиков Порфир Порфирыч захрапел мертвую на своем диване, а Гордей Евстратыч едва нашел дверь в переднюю, откуда вышел на улицу уже при помощи Семена. Мысли в голове будущего золотопромышленника путались, и он почти не помнил, как добрался до постоялого двора, где всех удивил своим отчаянным видом.

— Ну, я приеду к вам в Белоглинский, — говорил на другой день Лапшин, — тогда все твое дело устрою; а ты, смотри, хорошенько угощай...

На прощанье Порфир Порфирыч опять напоил Гордея Евстратыча до положения риз, так что на этот раз его замертво снесли в экипаж и в таком виде повезли обратно в Белоглинский завод.

Глава 8

Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Евстратыч приоделся в свой длиннополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги «со скрипом» и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то не ладно, но что — он ей не говорил; провожая его теперь в шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза.

— Устрой, Господи, все на пользу!.. — молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип.

Кучера Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была невелика: до лавки доехать да иногда в гости. В новом шабалинском доме Гордей

Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, устланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж; у подъезда и в передней двери были дубовые, с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар, из отставных солдат, помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами; из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой: зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет — все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместилась в са-

мых непринужденных позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липачка, станового Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна; это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным!

— Наконец-то!.. — закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. — Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку... Вот от кого не ожидал-то! Господа, рекомендую: будущий наш золотопромышленник, Гордей Евстратыч Брагин.

Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки; обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями, Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными

глазами, Порфир Порфирыч соскочил с дивана, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать.

— Садись, Гордей Евстратыч, — усаживал гостя Шабалин. — Народ все знакомый, свой... А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать. А? Думал-думал да и надумал... Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях! Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки как своих ушей.

Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами; сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с золотой запонкой. Липачек, толстый, опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми

и с Варварой Тихоновной, которая в качестве блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией, но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла!

— Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа... — предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. — Полдюжины холодненького, — коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках.

— Чтобы не рассохся... — прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. — Так ведь, Варвара Тихоновна?

— У вас только и на уме что вино, — жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина.

На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки — точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных ва-

зочках свежая пастила и шоколадные конфеты.

— Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось, — докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. — Такую россыпь облюбовал, такую...

— Антик с гвоздикой или английский с мылом? — добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно кто скреб глиняным черепком у вас в ухе.

— Именно — и с мылом, и с гвоздикой!..

— Вот мы сейчас вспрыснем... — провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. — Гордей Евстратыч, пожалуйста.

— Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки... — нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. — Не за этим я шел, признаться сказать.

— В чужой монастырь с своим уставом не ходят, — обрезала Варвара Тихоновна. — Я здесь за игуменью иду, а это братия...

— Что же, дело хорошее... — согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий еди-

новерческий крест, прежде чем выпить бокал.

— Невинно вино, а укоризненно пьянство, Гордей Евстратыч, — заметил Плинтусов и опять захохотал.

«Ну и канпания, — думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком, — только бы пособил Господь подобру-поздорову отсюда выбраться...»

Но выбраться подобру-поздорову из шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стуколку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачек и Порфир Порфирыч плясали вприсядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось в какой-то один безобразный сон; он видел, как в тумане, ярко-зеленое платье Варвары Тихоновны, сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все, потом играли опять в карты... Гордей Евстратыч тоже пел, и ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказа-

лись самые простые.

— Уж я тебя произведу... — кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к самому лицу Гордея Евстратыча. — Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем... Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести... Вот за это за самое я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого, кроме рубахи да портков, никогда ничего не было... А взятки я брать не беру!.. Натурой еще кое-что принимаю... вон Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда Вукола дома нет. Так, Варенька?

— Стала я целовать тебя, — выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. — Велико кушанье!

— А мы сейчас, господа, поедем кататься, — говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. — А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу... Так, Гордей Евстратыч?

— Обнаковенно, — пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали.

К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих пошевенках; на свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой.

— Ты... что это меня держишь? — закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. — Ра-азе я... пья-ан... а?..

— Я, тятенька, ничего, — оправдывался Архип.

— Ты обманывать меня... а? смеяться... а?.. над отцом смеяться?.. я тебе п-покажу-у!..

Гордей Евстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, так что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна Власьевна едва отняла обли-

того кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча; старуха вся тряслась как в лихорадке.

— А ты мне что за указ? — кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. — Кто здесь хозяин... а?.. Всех расшибу!..

— Гордей Евстратыч... голубчик... Христос с тобой, опомнись! — умоляла Татьяна Власьевна. — Вон соседи-то все смотрят на нас... Ведь отродясь такого сраму не видывали...

— А мне плевать на всех соседей... к нам сейчас гости едут... Понимаешь: гости!..

Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену; Дуня тихо плакала. Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьевна велела ей сидеть на своей половине. На беду, и Михалка не было даже: он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка.

— Пойдемте, братец, в горницы, — хлопотал около Гордея Евстратыча выскочивший из флигелька Зотушка, — право, пойдемте...

В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями.

— А, спасенная душенька, Татьяна Власьевна! — орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. — Принимай гостей, спасенная душа!

— Милости просим, дорогие гости! — низко кланялась Татьяна Власьевна с приветливой улыбкой. — Прошу пожаловать в горницы...

Татьяна Власьевна забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них; она узнала и Липачка, и Плинтусова, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых.

— Вон мы какие, — лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. — Матушка, Татьяна Власьевна, поцелуемся... Голубушка ты моя! Все спасаться к тебе приехали...

— Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горницы-то, — упрашивала Татьяна Власьевна. — Еще грешным делом простудитесь без шу-

бы-то... Милости просим, дорогие гости! Вукол Логиныч, пожалуйте...

— Лезем, лезем, спасенная душа.

Горницы брагинского дома огласились пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно; Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой.

— Так вот ты где поживаешь, Гордей Евстратыч! — заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. — Ничего, славный домик... Лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика...

— Батюшкова печка, Порфир Порфирыч...

Брагин, взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом, на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго-приветливое лицо мамень-

ки... Что такое? зачем? Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь... Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и совестно, хотелось выгнать всю эту пьяную орду из своего дома; но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча — значит, прощай и жилка. Вот и мамынька ходит с таким покорным убитым лицом... Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Евстратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда; но гости созваны, надо их угощать.

— А где же остальные? — спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку.

— Какие остальные? — удивилась Татьяна Власьевна.

— Ну, ведь есть у вас в доме кто-нибудь помоложе тебя, бабушка?..

— Как не быть, ваше высокоблагородие, да только не случилось на этот раз: внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим.

— Так-так...

— А у ней все прехорошенькие, — поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. — Особенно внучка Нюша...

— Нюша? Славное имя... Анна Гордеевна, значит, — соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. — А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы... Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка, а?

— Она спит теперь, Порфир Порфирыч, — отделывалась Татьяна Власьевна от хорошего средства. — Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать... Вот тут смородинная наливочка, а там на сорока травах...

— Отлично... Только, бабушка, я один не пью.

— Ох, милушка, я ни одна, ни с другими не пью... И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет. А меня уволь, Порфир Порфирыч.

— Ага, испугалась, спасенная душа!.. — потешался довольный Лапшин. — А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в

Царствие Небесное?.. А я тебе прямо скажу: всех нас на одно лыко свяжут да в самое пекло. Вуколку первого, а потом Липачка, Плинтусова... Компания!.. Ох, бабушка, бабушка, бить-то нас некому, по правде сказать!

Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал:

— В-вукол Л-лог-гиныч... ведь мы с тобой кругом шестнадцать!.. Б-благодет-тель...

— То-то, Зотушка... Мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь?

— Старуха не велит... Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч, — шепотом сообщал Зотушка.

— Знаю, знаю... Да я-то не больно ее испугался... Вот мы ее сегодня утешим — будет нас долго помнить! Ха-ха... Мы сегодня второй напой делаем. Вон Гордей-то Евстратыч скоро рога в землю...

— Братец не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испивают, а чтобы настоящим манером — ни боже мой!..

— Нет, это дудки, Зотушка: сказался груздем — полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога... Вона какая насто артель: угодники!

Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления, — он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать... на все наплевать, — шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. — Золото, жилка... плевать!.. Кругом шестнадцать вышло, вот тебе и жилка... Ха-ха!.. А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота.

Татьяна Власьевна угощала незваных и нежданных гостей, а у самой в горле стояли слезы, точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон Липачек и Плинтусов орут какую-то безобразную песню, вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну

рюмку за другой. «Господи, да что же это такое?» — думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости и всучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе; но такого безобразия не бывало... Вон Липачек снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол, Вуколко щелкает его по носу. А вина, вина сколько вытрескали и еще просят...

— Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? — смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету.

— Мам-мынька... еще... — мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула.

Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями, и чего-то так боится ее старое семидесятилетнее сердце. Вон и сумерки наступили, и Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина... Ох, господи, господи! Все видели, решительно все: и как отец Архипа ругал, и как к ней подступал, и как гости

на тройках подъехали, и как они в пошевнях головами мотали, точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Колобовы.

Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной.

— Ах, матушки вы мои... голубушки... — умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. — У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе... А-ах, красавицы, что это вы от меня горохом рассыпались?

— Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, — говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, ко-

гда он только что хотел обнять Нюшу за талию. — Так нельзя, ваше высокоблагородие... У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить...

Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка, даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка девчонкой; а люди разве пожалеют их? О всех наговорят бог знает что, только слушай.

«И все это из-за жилки», — думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову.

Безобразный кутеж в брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьевна до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносив-

шимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой.

— А ты, баушка, зачем Порфира Порфирыча прогнала от нас? — приставала Нюша. — Ведь он не съел бы нас, баушка?

— Ежели бы съел — один конец, милушка; а то хуже бывает...

Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продежурили всю ночь на кухне в ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих:

И-идет ста-арец по-о-о до-
ро-о-оге...
Чер-норизец, по-о-о ши-ро-око-о-
ой...
О чем, ста-арче, горько плачешь,
Черно-ризец, возры-да-а-а-ешь?..

Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачек остались распро-

стертыми в горницах брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батюшкову печь. Сам хозяин лежал на полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напружившимися жилами. Татьяна Власьевна осторожно прокралась в горницы, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к «самому» и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки сигар, объедки балыка и т. п.

— Хорошо, мамынька?.. Хи-хи-хи!.. Кругом шестнадцать!

Татьяна Власьевна вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипываньем.

— А ты чему обрадовался, дурак? — грозно спросила Татьяна Власьевна, взбешенная этой выходкой.

— Я? Хи-хи-хи!.. Вот она, жилка-то, мамынька!.. Хи-хи-хи!..

— Тьфу, дурак!.. — отплевывалась Татьяна Власьевна.

— Золота захотела... денег... Хи-хи-хи!.. Богатые будем, милый сын Гордей Евстратыч... Мамынька, рюмочку!..

Глава 9

Дело разработки найденного золота под крылышком Порфира Порфирыча быстро пошло в ход. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы отложить открытие прииска до весны. Как только были исполнены необходимые формальности и получены нужные документы, Гордей Евстратыч приступил сейчас же к подготовительным работам. Прииск был назван по речке — Смородинским, или просто Смородинкой. Ставили начерно приисковую контору и теплый корпус для промывки золота; тут же устраивалась дробильная машина с конным приводом, и золотая дудка превращалась в настоящую шахту. Стенки прежней дудки значительно были расширены и выровнены, а потом был спущен лиственный сруб; пустую землю и руду поднимали наверх в громадных

бадьях, приводимых в движение конным воротом. Человек пятьдесят рабочих «пробили на жилке» короткий зимний день весь напролет, а Кайло, Лапоть и Потапыч в качестве привилегированных рабочих «налаживали» шахту. Окся, Лапуха и Домашка тоже готовились принять самое деятельное участие в этой работе, когда поспеет теплый корпус, где будут на станках промывать превращенный в дробильне кварц в песок. Полдневские держались наособицу и задавали некоторый тон, потому что как-никак, а жилку открыл ихний же Маркушка и на ихней земле.

Одно было нехорошо на новом прииске: речка Смородинка была очень невелика и притом сильно промерзала, так что в воде предвиделось большое затруднение.

— А ты налаживай прудок скорее, — поучал Маркушка, когда Гордей Евстратыч завертывал к нему. — Ночью-то вода даром уходит, а тут она вся у тебя в прудке, как в чашке... А потом эти все конные приводы беспременно брось, Гордей Евстратыч, а налаживай паровую машину: она тебе и воду будет откачивать из шахты, и руду поднимать, и толочь

скварец... не слугу себе поставишь, а угодницу.

Маркушка точно ожил с открытием прииска на Смородинке. Кашель меньше мучил его по ночам, и даже отек начинал сходить, а на лице он почти совсем опал, оставив мешки сухой лоснившейся кожи. Только одно продолжало мучить Маркушку: он никак не мог подняться с своей постели, потому что сейчас же начиналась ломота в пояснице и в ногах. Болезнь крепко держала его на одном месте.

— Кабы мне ноги Господь дал, да я бы на четвереньках на Смородинку уполз, — часто говорил Маркушка, и его тусклые глаза начинали теплиться загоравшимся огнем. — Я и по ночам вижу эту жилку... как срубы спутают, как Кайло с Пестерем забой делают... Ох, хоть бы одним глазком привел Господь взглянуть на Смородинку!..

Мысли и заботы обыденной жизни, а особенно хлопоты с приисковой работой как-то странно были переплетены в голове Маркушки с твердой уверенностью, что он уж больше не жилец. Можно было удивляться тому напряженному вниманию, с которым Маркуш-

ка следил за всеми подробностями работы на Смородинском прииске, точно от этого зависела вся его участь. Пестерь и Кайло приходили в лачугу Маркушки каждый день по вечерам и, потягивая свои трубочки перед горевшим на каменке огоньком, рассказывали обо всем, что было сделано на прииске за день, то есть, собственно, говорил один Кайло, а Пестерь только сосал свою трубочку. Этим путем Маркушка знал размеры опускаемого в шахту сруба, место, где ставили теплый корпус, план дробилки, устройство конных приводов и т. д. Эти разговоры точно подливали масла в потухавшую лампу Маркушки и в последний раз освещали ярким лучом его холодевшую душу. Он еще жил, хотя жил слабой, отраженной жизнью, если можно так выразиться — жизнью из вторых рук.

— Ох, дотянуть бы мне только до весны, — иногда говорил Маркушка с странным дрожанием голоса. — Доживу я, Кайло? Как ты думаешь?..

— Может, доживешь, а может, нет, — отвечал Кайло с спокойствием и непроницаемой дальновидностью истинного философа.

— Нет, помрешь, Маркушка, — отрезывал грубо Пестерь.

— Помру?..

— Уж это верно: вчера собака выла ночью, значит чует покойника.

Маркушка задумывался и тяжело вздыхал. Ему хотелось жить, как живут другие, то есть «робить» в шахте, пить, драться с Пестерем, дарить козловые ботинки Лапухе или Оксе, смотря по расположению духа. Приисковые бабы часто проведывали Маркушку и каждый раз успевали у него что-нибудь выпросить, потому что в лачуге Маркушки теперь было всего вдоволь — и одежи всякой, и харчу, даже стояла бутылка с вином. Все это, конечно, привезено было Брагиным, который старался обставить Маркушку со всем возможным комфортом. Когда установился санный путь, в Полдневскую приехала сама Татьяна Власьевна, чтобы окончательно устроить больного Маркушку. Женские руки доделали то, чего не умел устроить Гордей Евстратыч при всем желании угодить больному; женский глаз увидел десятки таких мелочей, какие совсем ускользают от мужчины. На по-

лу была постлана серая кошма, у постели поставлен столик с выдвижным ящиком, в переднем углу, где чернел совсем покрытый сажей образ, затеплилась лампадка, появился самовар и т. д. Маркушка сначала ужасно стеснялся производимыми переменами в его логовище, но потом примирился с ними, потому что так хотела Татьяна Власьевна, а ее слово для больного было законом.

— Только вот эта твоя печь — нож мне вострый, — говорила Татьяна Власьевна, протирая глаза от дыма.

— Это каменка-то?.. Отличная печь, Татьяна Власьевна...

— А копоть?.. И прибирать по-настоящему ничего у тебя нельзя, потому сейчас копоть насядет — и все тут. Вон рубашка на тебе какая грязная, одеяло...

— Ох, голубушка ты моя!..

Сначала Маркушка сильно побаивался строгой старухи, которая двигалась по его лачужке с какой-то необыкновенной важностью и уж совсем не так, как суются по избе оглашенные приисковые бабы. Даже запах росного ладана и восковых свеч, который со-

провождал Татьяну Власьевну, — даже этот запах как-то пугал Маркушку, напоминая ему о чем-то великом и неизвестном, что теперь так грозно и неотразимо приближалось к нему. Мысль о будущем начинала точить и грызть Маркушку, как червь.

Татьяна Власьевна заметила на себе болезненно-пристальный взгляд Маркушки и спросила:

— Ты чего это глядишь на меня больно востро?

— Так, родимая моя, так гляжу... Много на моей душе грехов, голубушка...

— Все грешные люди, один Господь без греха.

— Вот умру скоро, Татьяна Власьевна... Тяжело... давит... А ты еще, святая душенька, ухаживаешь за мной...

— Что ты, Христос с тобой?!.. Какие ты слова выговариваешь?

— Душу я загубил... душу человеческую... Он ведь надо мной постоянно стоит. Это он моей души дожидается...

— Перестань болтать-то пустое!.. Не согрешишь — не спасешься!..

Татьяна Власьевна заговорила о силе покаяния и молитвы, которые спасают закоснелых в грехе грешников. Это было чисто раскольничье богословие, исходной точкой которого являлся тезис: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек скорее покается». А потом — что один раскаявшийся грешник всегда милее Господу десятка никогда не согрешивших праведников. Против такой богословской теории был бессилен даже авторитет о. Крискента, который не переваривал крайностей даже в вопросах о спасении души. Этот благочестивый человек видел рай слишком в богословски-отвлеченных формах, тогда как паства тяготела к самым жестоким представлениям, которые были для нее понятнее. Маркушка был слишком реалист, чтобы усвоить себе отвлеченные богословские понятия; между тем он считал себя очень грешным человеком, значит, там, вверху, в надзвездном мире ожидала его карающая беспощадная рука, которая воздает сторицей за все земные неправды. Степенная, душевная речь Татьяны Власьевны затронула в душе этого отчаянного человека неизвестные

даже ему самому струны. Ведь с ним никто и никогда не говорил, да он и не в состоянии был слушать такие благочестивые разговоры, потому что представлял собой один сплошной грех. Теперь другое дело, теперь он жадно ловил каждое слово богобоязливой старухи, как умирающий от жажды глотает капли падающего дождя, и под ласковым сочувствующим взглядом другого человека эта ледяная глыба греха подалась... У Маркушки в глазах стояли слезы, когда Татьяна Власьевна кончила ему свое первое утешительное и напутственное слово; он сам не знал, о чем он плакал, но на душе у него точно просветлело. Мрак и сомнения уступили место радостно-светлому чувству.

— А Кайло и Пестерь, если покаются, тоже могут войти в Царство Небесное? — спрашивал Маркушка, чувствовавший себя отделенным от своих друзей целой пропастью.

— И они войдут, если покаются.

Маркушка усомнился, но, взглянув на строгое лицо Татьяны Власьевны, не мог не поверить ей.

— А Лапуха с Оксей?

— Все люди — все человеки...

Душевное просветление Маркушки не в силах было переступить через эту грань: еще допустить в Царство Небесное Кайло и Пестеря, пожалуй, можно, но чтобы впустить туда Оксю с Лапухой... Нет, этого не могло быть! В Маркушке протестовало какое-то физическое чувство против такого применения христианского принципа всепрощения. Он готов был поручиться чем угодно, что Окся и Лапуха не попадут в селения праведных...

После этого первого визита к Маркушке прошло не больше недели, как Татьяна Власьевна отправилась в Полдневскую во второй раз. Обстановка Маркушкиной лачужки не показалась ей теперь такой жалкой, как в первый раз, как и сам больной, который смотрел так спокойно и довольно. Даже дым от Маркушкиной каменки не так ел глаза, как раньше. Татьяна Власьевна с удовольствием видела, что Маркушка заглядывает ей в лицо и ловит каждый ее взгляд. Очевидно, Маркушка был на пути к спасению.

— Лучше тебе? — спрашивала Татьяна Власьевна.

— Лучше, голубушка...

— Вот что, Марк, — заговорила серьезно Татьяна Власьевна, — все я думаю: отчего ты отказал свою жилку Гордею Евстратычу, а не кому другому?.. Разве мало стало народу хоть у нас на Белоглинском заводе или в других прочих местах? Все меня сумление берет... Только ты уж по совести расскажи...

— А что я сказывал Гордею Евстратычу, то и тебе скажу... Больше ничего не знаю. Плохо тогда мне пришлось, больно плохо; а тут Михалко в Полдневскую приехал, ну, ко мне зашел... Думал, думал, чем пропадать жилке задарма — пусть уж ей владеет хоть хороший человек.

— Отчего же ты раньше Гордею Евстратычу о жилке не объявился? Ведь пятнадцать лет, как нашел ее...

— Ах, Татьяна Власьевна, голубушка... ах, какая ты, право! Ну уж и слово сказала... а? Ведь в этом золоте настоящий бес сидит, ей-богу, особливо для бедного человека... Так и я: так думал и этак думал. Даже от этих самых мыслей совсем было уже решился, да еще Господь спас... Смешно и вспомнить... Перво-на-

перво страх на меня напал, потом стал я ото всех прятаться... мучит ведь оно, золото-то! Думал потом продать жилку кому-нибудь! Кутневы были живы еще, суды завели бы... А когда умерли Кутневы, зачал я ходить по богатым мужикам, которые золотом занимаются: кто десять рублей посулит, кто двадцать, кто просто в шею выгонит... всячины было, родная... Жаль было этакое богачество за четвертной билет губить: ведь тут тыщи... Одно слово — богатство!.. А самому заняться тоже невозможно: первое, нечем мне взяться за работу, а второе... Ох, да что тут говорить, Татьяна Власьевна! Сама, голубушка, знаешь: только пикни бы Маркушка с своей жилкой, его сейчас бы и под лапу сгребли... Маленький человек, еще в остроге бы досыта насиделся! Тот же Порфир Порфирыч али Плинтусов с Шабалиным... Не я первой! Вот я и подыскивал все подходящего человека... Ну, которые получше, не верили мне, а другие просто за страм считали говорить с Маркушкой... Да... Известные ведь мы люди на всю округу!.. Так год за год и тянулось дело, а я поковыривал свою жилку, что-ничто, пока не доковырялся

вот до чего... Мудреное это дело, Татьяна Власьевна, золото! Тоже оно к рукам идет, руку знает... Вот я и порешил, чтобы оно досталось Гордею Евстратычу да тебе, чтобы вы грех мой замаливали...

Глаза Маркушки горели лихорадочным огнем, точно он переживал во второй раз свою золотую лихорадку, которая его мучила целых пятнадцать лет. Татьяна Власьевна молчала, потому что ей передавалось взволнованное состояние больного Маркушки: она тоже боялась, с одной стороны, этой жилки, а с другой — не могла оторваться от нее. Теперь уж жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее.

Захватывающее влияние золота уже успело отразиться на всей брагинской семье. Первое появление Порфира Порфирыча с компанией в этом доме было для всех истинным наказанием; а когда Гордей Евстратыч проспался на другой день — он не знал, как глаза показать. Второе нашествие Порфира Порфирыча уже не показалось никому таким диким, и Татьяна Власьевна первая нашла, что он хотя

пьяница и любит покуражиться, но в душе добрый человек. В сущности, это последнее заключение двоилось, потому что Татьяна Власьевна как-то инстинктивно боялась Порфира Порфирыча, в чем не хотела сознаться даже самой себе.

— Велико кушанье... — говорила она даже вслух. — Уж Липачка и Плинтусова не боюсь, а Порфира Порфирыча и подавно... Ну не даст золото мыть — проживем и без золота, как раньше жили.

Но этот страх пред ревизором был каплей, которая тонула в море других ощущений, мыслей и чувств. Пока в брагинской семье переживалось напряженное состояние, было промыто официальное первое золото. Жилка оказалась чрезвычайно богатой, потому что на сто пудов падало целых тридцать золотников, тогда как считается выгодным разрабатывать коренное золото при пятидесяти — шестидесяти долях, а в Америке находят возможным эксплуатировать даже пятидолевое содержание. Одним словом, результат получился блестящий, точно награда за все пережитые брагинской семьей треволнения.

— Теперь Михалка и Архипа посадим на прииск, мамынька, — решил Гордей Евстратыч, пересыпая в бумажке золотой песочек.

— А в лавке кто будет сидеть?

— Пусть Ариша с Дуней сидят...

— Молоды они, Гордей Евстратыч. Пожалуй, не управятся...

— Тогда лавку закроем... А мне без ребят одному на прииске не разорваться. Надо смотреть за всеми: того гляди, золото-то рабочие растащат...

Все это было, конечно, справедливо... но закрыть батюшкову торговлю панским товаром Гордей Евстратыч никогда не решился бы, а говорил все это только для того, чтобы заставить мамыньку убедиться в невозможности другого образа действия. А Татьяне Власьевне крепко не по душе это пришлось, потому что от нужды отчего же и женщин не посадить в лавке, особливо когда несчастный случай какой подвернется в семье; а теперь дело совсем другое: раньше небогато жили, да снохи дома сидели, а теперь с богатой жилкой вдруг снох посадить в лавку... Это было противоречие, с которым Татьяна Власьевна

никак не могла примириться теоретически, хотя практически видела его полную неизбежность.

— Можно бы приказчика в лавку посадить, Гордей Евстратыч, — пробовала она замолвить словечко, хотя сейчас же убедилась в его полной несостоятельности.

— Нет, уж этому не бывать, мамынька! — решительно заявил Гордей Евстратыч. — Потому как нам приказчик совсем не подходящее дело; день он в лавке, а ночью куда мы его денем? То-то вот и есть... Мужики все на прииске, а дома снохи молодые, дочь на возрасте.

— Чтой-то уж! Гордей Евстратыч, какие ты речи говоришь... А я-то на что?..

— А я не к тому речь веду, что опасаюсь сам, — нет, разговоров, мамынька, много лишних пойдет. Теперь и без того все про нас в трубу трубят, а тут и не оберешься разговору...

Перед Рождеством Гордей Евстратыч сдал первое золото в Екатеринбурге и получил за него около шести тысяч, — это был целый капитал, хотя, собственно, первоначальные рас-

ходы на прииске были вдвое больше. Но ведь это был только первый месяц, а затем пойдет чистый доход. Чтобы начать дело, Гордею Евстратычу пришлось затратить не только весь свой наличный капитал, но и перехватить деньжонок у Пятова Нила Поликарпыча. К своим родным, Савиным и Колобовым, Гордей Евстратыч ни за что не хотел обращаться, несмотря на советы Татьяны Власьевны; вообще им овладел какой-то бес гордости по отношению к родным. Раньше не хотел посоветоваться с ними насчет жилки, а теперь пошел за деньгами к Пятову. Вместе с тем Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч ужасно стал рассчитывать каждую копейку, чего раньше не было за ним, особенно когда расходы шли в дом.

— Мне паровую машину ставить надо к весне, — говорил он, оправдываясь. — Да и Ирбитская ярмарка на носу, надо товар добыть, а деньги все в прииск усажены.

Конечно, это были только временные стеснения, которые пройдут в течение первых же месяцев.

Первые дикие деньги породили в брагин-

ской семье и первую семейную ссору, хотя она и была самая небольшая. Когда Гордей Евстратыч ездил сдавать золото, он привез обеим снохам по подарку. Обыкновенно такие подарки делались всегда одинаковые, а тут Гордея Евстратыча точно бес толкнул под руку купить разные: Арише серьги, Дуне брошку. Вот эта-то брошка и послужила яблоком раздора, потому что Арише показалось, что свекор больше любит Дуню и привез ей лучше подарок. Сначала Ариша надулась и замолчала, а потом принялась плакать в своей каморке, пока это горе не перешло в открытую ссору с Дуней. Невестки перессорились между собой, перессорили мужей и довели дело до Гордея Евстратыча. Суд и решение были самого короткого свойства.

— Не умели носить моих подарков, так пусть они у меня полежат, пока вы будете умнее, — решил Гордей Евстратыч, запирая и брошку, и серьги к себе в шкатулку.

Невестки жили раньше душа в душу, но тут даже суровое решение Гордея Евстратыча и все увещания Татьяны Власьевны не могли их примирить. Если бы еще дело было важ-

ное, тогда примирение не замедлило бы, вероятно, состояться, но известно, что пустяков люди не забывают и не прощают друг другу...

Глава 10

Отец Крискент был «удивлен»... Именно когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная сторублевая бумажка, в других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых пять сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего «прохождения церковной службы» о. Крискентом это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что о. Крискенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был не кто иной, как Гордей Евстратыч.

— Доброе дело, доброе дело... — говорил о. Крискент и сейчас же прибавил: — Воздадите Божие Богови, а кесарево кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно

справляться.

Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хвалили благое начинание и ревность Гордея Евстратыча. А к этому присоединились другие известия: одной старушке ночью в окно чья-то рука подала десять рублей, трем бедным семьям та же рука дала по пяти, и т. д. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские тысячи.

Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самые верные известия, вместе с количеством добытого Брагиным золота, поднимали и зависть к их неожиданному богатству. Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившийся под гору ком снега, так что люди самые близкие к этой семье начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не толь-

ко не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покучиться с деньгами, ведь не чужие, слава богу...

— Ну, ежели он не хочет, так бог с ним, — говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. — Погордиться захотел перед роденькой-то.

Ссора брагинских невесток подлила масла в огонь: теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их... Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем: вот тебе и спасенная душа!.. Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины, но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете: стоило бросить малейший повод — и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных.

А золото шло все богаче и богаче... Жилка

дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где «жилка выклинивалась», то есть сходилось в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше ста человек. Гордей Евстратыч во второй раз свез добытое золото и привез с собой больше десяти тысяч. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на третий день Рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, Святки в брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла; один Гордей Евстратыч точно ничего не видел и не слышал, что делалось кругом: он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать.

— Ну и пусть дуются, — говорил он матери, — я им ничего не сделал...

— Я тебе говорила тогда, милушка... — пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. —

Вон они и обиделись!

— Мне наплевать на них!.. И без них проживем.

— Ох, не гордись, не гордись, милушка. Гордым Господь противится...

— Что же, по-твоему, мне самому идти да кланяться им?.. Жирно будет, — пожалуй, подавятся.

Дело было дрянь, как его ни поверни, и Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой, — раздумывала она про себя. — Гордей-то и прав выходит: на духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых...» Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела «подпустить беска» везде и теперь «переплескивала» самые невероятные известия от Брагиных к Колобовым и Савиным и наоборот. Ослепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результа-

те получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая себе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков, — это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и наконец убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем.

— А старухи-то, старухи — настоящие злыдни, так и шипят! — подсказывала Марфа Петровна. — Вишь, им поперек горла стало ваше-то золото... Зависть одолела!

— Чтой-то, Марфушка, и люди за такие но-не пошли? — с тоской спрашивала Татьяна Власьевна.

— Ох, и не говори, Татьяна Власьевна... Не кормя, не поя, ворога не наживешь, голубушка!..

— А ведь ты верно сказала, Марфуша. Жили мы, никому не мешали и теперь не меша-

ем, а тут на-кася, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими.

— Так, Татьяна Власьевна... С чужими делить нечего — вот и мир да гладь да божья благодать.

Всех чаще теперь бывали в брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам: он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудреными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное. Овдовев в молодых годах, он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства, Феня не знала запрета ни в чем и делала все, что хоте-

ла. Бойкая и красивая, с светло-русой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил, она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна, не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятова был еще сын Володька, но тот сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки; они подходили и по характеру друг к другу, и по тому, что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись с самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества.

— Уж не стала бы я по-твоему возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным! — не раз говорила Феня, встряхивая своей желтой косой. — Нечего сказать, не нашла хуже-то!..

— Он славный, Феня...

— Славный, славный... Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить.

— Да мне с ним не танцевать.

— Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно. Такие у попов страшные бы-

вают... Славный!.. Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, — вот тебе и славный!

— Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня, так жаль... Я тебе не умею сказать, как жаль! Недавно они у нас все в гостях были... Ну, сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна...» А сам так на меня смотрит, жалостливо смотрит. «Что, — говорю я ему, — умирать, что ли, собрался?» — «Нет, — говорит, — а около того... Теперь, — говорит, — вы стали богатые; а пеший конному не товарищ». Вот этим он меня и зарезал... Стою я да смотрю на него, как дура какая, а потом как поцелую его... Так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого!

— Ого!.. Так вы вот как?!.. Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку — и все тут... Выдумала! Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь... Погоди, вот ужо налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону.

— Нет, Феня... я уже сказала и от своего слова не отопрусь.

— Ну-ну... Девичья память короткая: до по-

рога!

Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого, хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением.

В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетронутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы Господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик: обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения большаков

Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них, пожалеют отдать куда-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работящий, и семья у них маленькая; ну и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу; а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордей Евстратыч и подавно.

Пелагея Миневна целые Святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной; а там, заведенным порядком, и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось: то гости у Брагиных, то что. Только этак накануне Нового года Пелагея Миневна собралась-таки к Брагиным. Надела старинный шелковый сарафан, по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку и в таком

виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в брагинский дом.

— У них теперь никого и дома-то нет, кроме старухи, — говорила провожавшая ее Марфа Петровна. — Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать... В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи благослови!..

Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.

— Какая наша стряпня, Пелагея Миневна, — скромничала довольная Татьяна Власьевна. — Маланья стара стала да упряма, все

поперек хочет делать.

— Что вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме... Мастерицы-бабочки, не откуда-нибудь взяты! Особенно Ариша-то... Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разе только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.

Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.

— Ах, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем... — перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. — Плохая стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде... Поясницу так ломит другой раз — страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет...

Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно: сын

на возрасте, жените — и заменушку в дом приведете...». Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, — с какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным?..

— А Марфа Петровна? — уклончиво спросила Татьяна Власьевна. — Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила...

— Это вы справедливо, Татьяна Власьевна... Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.

— Что говорить, что говорить!.. — покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. — Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны...

— Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу... Конечно, про себя перенесешь — и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим языч-

ком, так донимает... А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.

Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.

— Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна... Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?

— А вот соберемся как-нибудь... Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям... Гордость всех одолела...

Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнованием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело, — наступил самый критический момент... Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопро-

сом:

— А где у вас Алексей-то Силыч? Что-то ровно его не видать...

— Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит больно-то расхаживать.

— Смиренный парень, что говорить... Надо вам за него Бога молить, Пелагея Миневна. Этаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..

Этого было совершенно достаточно... Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» — шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.

— Алена Евстратьевна!.. — проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в

стоявшую неподвижно женскую фигуру. — Откуда Бог несет?

— Из Верхотурья приехала, — как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.

— Аль не узнали меня-то?

— Что-то как будто запамятовала...

— Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами...

— Да-да... помню.

Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри... Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.

«И принесло же ее ни раньше ни после... — сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. — Пожалуй, все наше дело испортит.

Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется...»

Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай вышел не в руку; ну да все под Богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.

Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.

— На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? — язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.

— Какое золото? — удивилась Алена Евстратьевна.

— Отец-то разве не описывал тебе ничего? — спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.

— Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала...

«Врет, все врет наша Аленушка... — думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. — На жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»

Алене Евстратьевне было за сорок; это была полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.

Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно доста-

лось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с бóльшим уважением и даже раза два советовалась с ней.

— Как это вы живете, Гордей Евстратыч? — говорила Алена Евстратьевна. — Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы... Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!

— Ладно нам, Алена Евстратьевна... Куда уж нам за богатыми гоняться! — ответил Гордей Евстратыч. — Век прожили не хуже других...

— Вам-то хорошо так говорить, а дети как?

Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем?.. Или взять Нюшу теперь... Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать... Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять. Взять эти ваши сарафаны... Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили... Взять хоть наше Верхотурье... Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме... Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.

Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.

— Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, — не унималась Алена Евстратьевна. — Весь дом портит...

— Ну уж это ты напрасно... Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем...

— В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать... А то совестно к вам приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины... Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко... Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это непорядок в доме...

— А я печку не буду ломать, — продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, — вот полы перестлать или потолки раскрасить — это можно. Там из мебели что поправить, насчет ковров — это все сделаем не хуже других... А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.

Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и

недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.

А на Смородинке золото так и лезло из земли — что неделя, то и два да три фунта. После Крещенья Гордей Евстратыч еще сгонял в город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по-старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще о. Крискент в своей

фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал: «Да, да!»

— Баушка, ведь это к нам! — крикнула Нюша, бросаясь к окну.

К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.

— Видно, к Гордею Евстратычу, — сообразила Татьяна Власьевна.

Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.

— Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска...

— А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, — говорил Плинтусов, щелкая каблуками. — Нарочно приехали поздравить вас с

днем вашего тезоименитства.

Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.

«И меня, старуху, вспомнили», — думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.

— Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, — докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.

— Как же это вы так надумали?.. Напрасно только себя беспокоили, — точно оправдывалась Татьяна Власьевна. — Мы маленькие люди...

— Ах, маменька, какие вы, право, — жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. — Это везде так принято в порядочном обществе...

Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.

— Вот мы и поздравим старушку соборне, — кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. — Так ведь, отец Крискент?.. Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь...

Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова.

— Ведь их надо будет оставить обедать, — соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. — Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..

Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет — и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крис-

кентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.

Дело вышло из-за церковного староства. Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть.

— Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, — пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.

— Не пойму я вас что-то, отец Крискент.

— А очень просто... Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча — пусть его постарается для Бога.

— А... так вы вот как, отец Крискент!.. Значит, вам не служба дорога, а деньги.

И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика...

— Правду, видно, старинные люди сказывали, — кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, — что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.

Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.

— Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию... — заявил Пятов, хватаясь за шапку. — Вы богатые стали, лучше нас найдете.

— Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка... — заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. — Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..

— Мамынька, оставь!.. — грозно приказал Гордей Евстратыч.

Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины... Вот тебе и бабушкины именины, — нечего сказать, отпраздновали!..

Глава 11

Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горовым местам выглянули первые проталинки с всклоченной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Да-

же холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всесокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.

Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гущам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешаны, как брильянтовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опушенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и то-

нов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, сшитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.

С наступлением весны работа на Сморо-

динке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которою речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.

Гордей Евстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Ар-

хип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.

— Ничего вы не смотрите, дармоеды! — ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. — Ну какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем... Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..

Михалко и Архип больше отмалчивались

в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливавшим богатством. К Пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото...

Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие — рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать руб-

лей — деньги, на полу их не подымешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопатывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.

— Чтой-то, милушка, какой ты скупой стал! — мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. — Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить... Да и недолго он натянет: доживет не доживет до полой воды!

— Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то... Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездишь — это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит... Хоть взять Зотея: ну что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в руки — и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой... Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.

— Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? — удивля-

лась Татьяна Власьевна. — Уж не объест же он нас... Чужим людям подаем, а своего не гнать же.

— Мало ли чего прежде-то было, мамынька... Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться... Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!

— Что ты, что ты, милушка! Христос с тобой... Да разве они воровки какие?

— Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «Мамынька, смотрите в оба...» После смерти не покаешься.

Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отрава, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.

— И в самом-то деле, что это мы больно раскошелились?.. — удивлялась Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. — Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут...

— Верно, мамынька, — подтверждал Гордей Евстратыч. — Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну а мы свое дело сделали...

— А клятва-то, милушка?

— Клятва — другое, мамынька... Мы за него вечно будем Богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было... Так я говорю, мамынька?

— Так, милушка... Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.

— Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну а Господь его не допустил до золота... Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым...

Натурально, ежели бы они в живности были, мамынька.

— Все перемерли, все!.. — с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: — А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал...

— Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.

А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже.

В конце этого психологического процесса

Маркушка настолько сросся с своей идеей, что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружавших, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его, и он смотрел на всех как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.

— Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, — утешал кривой Потапыч больного. — Уж это завсегда так бывает...

Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щего-

ляли напропалую в новых кумачных сарафанах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделывали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.

— Ну что, били? — иногда спрашивал он своих благоприятелей.

— Погоди, еще не уйдут от наших рук, — мрачно отвечал Кайло.

— Надо их хорошенько отлупить... — советовал Маркушка, вздыхая. — И Домашку и ту надо взлупить.

— И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем...

Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает

цену предметов потребления. Но Маркушка, как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.

— Вы их заманите обманом... — советовал несколько раз Маркушка.

— Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.

Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами... Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чув-

ство: его именно подхватывала эта вешняя вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки неслось все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп, и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.

С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в

этом обновлении, и каждую минуту готов был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.

«Только бы до травы...» — думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.

А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой... Когда север-

ная весна пошла вперед быстрыми шагами, Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплявшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.

Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестеря и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки: именно в этот день они умирали от жажды, и Маркушка их спас... Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и наконец проговорил:

— Что ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!

— Вот что, братцы... — заговорил Маркушка, собираясь с силами. — Не ходите вы завтра робить на Смородинку...

— И не пойдем, — согласился Кайло, чуявший какую-то новую поживу. — Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился...

— А что?

— Рабочих поедом съел… Все ему не ладно, все не так… Ругается… Намедни нас с Пестерем обыскивал… Ей-богу!..

Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.

— Да разве мы… ах, милосливый Господи!.. — ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. — Маркушка… да ужли уж мы… Вот спроси Пестеря… а-ах!..

— Обнаковенно… ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, — согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. — Комар носу бы не подточил… А то обыскивать!

— А, поди, крепко воруете? — спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.

— Маркушка… Да разве нам можно не воровать… а?.. Человек не камень, другой раз выпить захочет, ну… А-ах, милосливый Господи! Точно, мы кое-что бирали, да только так, самую малость… ну, золотник али два… А он обыскивать… а?!.. Ведь как он нас обидел тогда… неужли на нас уж креста нет?

— Вот что, братцы, вы завтра робить не ходите... — говорил Маркушка. — Я хочу беспременно поглядеть на Смородинку... так вы меня туда и снесите.

— Представим, Маркушка.

— Я вам заплачу, братцы...

— И так снесем. Все равно помрешь... Потапыча прихватим на всякий случай!..

Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет... Пестерь, умиленный выпитой водкой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю;
Я без милого не лягу,
Без надежи не усну...

Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Бра-

гин — все это были пенившиеся валы бесконечной широкой реки...

Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была нелегкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.

— Эй ты, шайтан, умер, что ли? — несколько раз окликал свою ношу Кайло.

Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он

прошел бы с завязанными глазами: все горы в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.

— Тебе хорошо, черту... Умрешь, и вся тут, а мы как? — соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. — Шайтан ты, я тебе скажу... Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать... От этакого богачества мог бы тебе хошь десять рублей в месяц давать, а то...

Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы под-

нять; а то они здорово бы полудили ему бока... Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.

Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахну́ло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояли конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилось от радости при виде с детства знакомой картины.

— Ну, шайтан, гляди, это твоя работа... — корили Маркушку приятели. — Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.

— Пусть его... — прохрипел Маркушка. — На его душе грех...

Заветная идея Маркушки осуществилась наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.

На другой день вечером Маркушка умер.

Глава 12

Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, сулившій золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинской доме от новых знакомых от-

боя не было: все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты — всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения... Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастиями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды недостало бы золотых гор.

— Мамынька, да что же это такое? — спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью.

— Ничего, милушка, потерпи, — отвечала Татьяна Власьевна. — В самом-то деле, ведь у

нас не золотые горы, — где взять-то для всех?.. По своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет...

Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.

— Деньги — вода, — объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, — пришла — ушла, только ее и видел... А ты копейку недосмотрел, она у тебя рубль из карману долой.

Михалко и Архип были слишком оглуше-

ны всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Кощея. Нет того чтобы устроить их, как живут другие... Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.

Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толклась всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала — загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна ча-

стенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после Пасхи уже наверно подошлет кого-нибудь. Дело нешуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.

— Старухи-то еще что говорят, — прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, — легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет... Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..

Татьяна Власьевна строго подбирала губы

и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать... Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.

Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей — развей горе веревочкой, — хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны по-прежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы

смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.

— Просто спятили с ума на старости лет, — говорила откровенная Феня. — Нашли чего делить... Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое староство, а тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.

— А баушку так и узнать нельзя стало, — жаловалась Нюша. — Все считает что-то да бормочет про себя... Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает... И скупая какая стала — страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.

— А Гордей Евстратыч?

— И не говори... К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со

мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь...

— Гостей зато много бывает.

— Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости... Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр... Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.

Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой се-

тью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.

Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.

— Какой же вы след видели, добрые люди? — спрашивала Татьяна Власьевна.

— А тот след, Татьяна Власьевна, — отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду, — летела жар-птица из зеленого сада да ронила золотое перо около вашего двора — вот тебе и первый след...

Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.

— Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? — спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам.

— Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за

честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.

— Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья — один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала...

— А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие и не браковку замуж отдаем... Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.

— Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч... Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем...

Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.

— Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? — спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разговор.

— Я, мамынька, думаю заодно с тобой... За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.

— Опять дурак!.. — загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. — Ни уха ни рыла не понимаешь, а туда же...

— Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, — со смирением возражал Зотушка. — Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете...

— Ты меня учить... а?!.. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон!.. И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..

— Гордей Евстратыч... — пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. — Милушка, что это ты говоришь?

— Мамынька, оставь нас... Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит... Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.

— И я, братец, тоже больше не могу... — с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. — Вы думаете, братец, что стали богаты, так вас и лучше нет... Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья... Я и так уйду, сам... А только одно еще скажу вам, братец! Не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишитесь.

— Ладно, ладно, разговаривай... Лучше найдем.

— Я ведь не о себе, братец... Польстились вы на золото, — как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже... Послушайте меня, дурака.

— Зотушка... Гордей Евстратыч... — плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. — Побойтесь вы Бога-то!

— Я грешный человек, мамынька, да про себя... — смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. — Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знако-

мых, теперь меня гонит, а будет время — и вас, мамынька, выгонит... Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..

Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:

— Это все от тебя, мамынька! Да... Разве это порядок в дому... а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем... Кто здесь хозяин?

— Гордей Евстратыч... да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?..

— Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька... Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь...

Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:

— Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..

— Ах, мамынька, мамынька!.. — застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. — Ведь это что же такое будет... а? Мамынька, прости на скором слове!..

Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:

— Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то... Кабы покойник-отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, Бог простит...

Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко

была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг — и общая гибель неизбежна.

— Господи помилуй! — крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. — Зотушка... милушка...

Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся — погибнуть дому сему», — вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и

ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.

— Баушка... а баушка, — нерешительно спросила она молившуюся старуху.

— Ты разве не спишь, милушка? — удивилась Татьяна Власьевна.

— Нет, баушка...

Старуха подошла к Нюше, села на ее по-

стель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила.

— Баушка, как же... что давеча-то тятенька сказал? — спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.

— Ох, милушка, милушка... Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет... Молись Богу, голубушка.

Нюша уткнулась головой в подушку и

горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.

Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень — матушкино благословение — и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу.

— Куда, Зотей Евстратыч? — окликнул его о. Крискент. — Садись, подвезу.

— Спасибо на добром слове, отец Крискент... А я иду куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому.

Отец Крискент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю словоназидания.

— Как же ты думаешь, Зотей Евстратыч, устроиться?

— А что мне думать, отец Крискент? Свет не клином сошелся... Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие

угодники, в немощах силу обретаем...

— А ведь это точно... да! — согласился о. Крискент и, приподняв брови, глубокомысленно прибавил: — Может, это даже тебе на пользу Господь посылает испытание, Зотей Евстратыч... Судьбы Божии неисповедимы.

Сидя в своем теплом домике, о. Крискент всегда любил распространяться на тему о благости Провидения и о промысле Божием, тем более что ему, то есть о. Крискенту, было всегда так тепло и уютно и он глубоко верил в благость и Промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку как «взыскующаго града». Простившись с о. Крискентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти — к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий «источник на всякие художества»: он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить, и сказку сказать... А главное, что носил с собою Зотушка,

как величайшее сокровище, — это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от всех других мирских людей. Именно эта душевная особенность Зотушки делала его своим человеком везде, точно он вносил с собой струю «мирови мира», которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы.

— Ежели пойти к Савиным или к Колобовым — нехорошо будет, — рассуждал про себя Зотушка. — Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на братца Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, — от винного беса не уйти... Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется.

Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый Султан, совсем зажиревший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя «паратьнее крыльцо», Зотушка через кух-

ню пробрался на половину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой.

— А я к вам, Федосья Ниловна, — заговорил Зотушка. — Нил-то Поликарпыч дома? Нету?.. Ну, еще успеем увидаться, моя касаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши...

Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала божьего человека. «Источник» переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил:

— Касаточка ты моя... Сейчас говорил отцу Крискенту: «Нам, отец Крискент, доброго не изжить». Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?

— Да так... Крою белье разное.

В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в уголок, снял сапоги и тоже примостился к разложенному полотну.

— А ты меня, касаточка, спроси, как все это дело устроить... Когда Савины дочь выдавали, так я все приданое своими руками кроил невесте. Уж извини, касаточка: и рубашки, и кофточки — все кроил... И шить я прежде источник был; не знаю, как нынче.

— Я тебя на машинке научу шить, Зотушка, — обрадовалась Феня. — Сначала только чаю напьешься...

Через час, когда чаи были кончены и Зотушка далее пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, Зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой «стих».

И-идет ста-арец по-о-о до-
ро-оге-е...

Глава 13

Лето для брагинской семьи промелькнуло как золотой сон. Смородинка работала превосходно; в неделю иногда намывали до шести фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало: вода одолевала, нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратыч исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников, и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратыч окончательно убедился, что жил до сих пор в своем Белоглинском заводе дурак дураком.

— Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать с себя, — говорил Вукол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. — По-настоящему надо жить, как прочие живут... Первое, одеться надо как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петер-

бурге... Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат.

— А я с белоглинскими-то тово, Вукол Логиныч...

— Знаю, знаю, Варя рассказывала... И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтобы не совестно было перед настоящими людьми.

Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменил, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойтись с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море: в одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали арфисток и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать... Ведь люди-то, люди-то какие: все на подбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с три короба, а в руки взять нечего... А впрочем, народ обходительный, и даже оде-

тыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой.

— Мы здесь живем как братья, Гордей Евстратыч, — говорил Брагину юркий адвокат из восточных человеков. — Все равно как одна семья.

Действительно, все эти невьянские, и кушвинские, и миасские, и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок, — стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хо-

телось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании.

Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине; отец это видел и старался утешить ее по-своему.

— Ну, Нюша, будет дурить, — говорил ей Гордей Евстратыч под веселую руку. — Хочу тебя уважить: как поеду в город — заказывай себе шелковое платье с хвостом... Как дамы носят.

— Не надо, тятенька...

— Вздор мелешь!.. Какое хочешь: зеленое или красное?

— Не надо, тятенька...

— И выходишь дура, если перечишь отцу. Я к тебе с добром, а ты ко мне... Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостинец привезу, что глаза у всех разбегутся.

Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша по-прежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, ино-

гда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорвиголовушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бранить:

— Дурища ты, Нютка... Ей-богу!.. Вот еще моду затеяла... Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то... И по любви замуж выходят, да горе мыкают... Ей-богу, я этому Алешке в затылок накладу.

Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка таращил глаза на дочь заводского бухгалтера, и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосьи Ниловны.

— Гляжу я на тебя и ума не могу приложить: в кого ты издалась такая удалая, — говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь

красавицей Феней. — Уж можно сказать, что во всем не как наша Анна Гордеевна.

— А я так ума не приложу, что с вами со всеми делается, — отвечала бойкая на язык Феня. — Взять тебя, баушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко.

— А что, милушка?

— Да так... На себя не походишь, баушка. Скупая стала да привередливая.

— Ох, нельзя, милушка, нельзя, голубушка... Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает, чуть что.

— Вот тоже ребят на прииске заморили... Снохи скучают, поди, об них неделю-то...

— Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен.

— Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц...

— Пш-ш... Что ты, милушка, какие ты слова разговариваешь... Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело... Мы невесток, слава богу, не обижаем, как сыр в масле катаются.

— Масло-то ваше больно горькое, баушка

Татьяна!.. Вон Нютка, лица на ней нет... Мы с Зотушкой все ее жалеем.

Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезнованием покачивала головой.

Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помочь. Притом на Смородинку постоянно завертывали разные гости: то Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатка в которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лапуха с Домашкой. Бабы «играли пес-

ни», а Порфир Порфирыч тешился тем, что бросал в хоровод платки и пряники. Это было его любимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой Липачек. Гордей Евстратыч смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что, раз, — нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем — и потому, что как-то неловко было отставать от других.

— На всех приисках одна музыка-то... — хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. — А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить — грех будет... Так, Архип? Чего красной девкой глядишь?.. Постой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек... Ха-ха! Отец не пускает к Дуне, так мы десять их найдем. А ты, Михалко?.. Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском не заглянете?.. С Варей вас познакомлю, так она вас арифметике выучит.

Эти уроки пошли молодым Брагиным «в наук». Михалко потихоньку начал попивать

вино с разными приисковыми служащими, конечно в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художества друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна проведала стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась.

— Ты бы присматривал за ребятами-то, — несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. — У вас там на жилке всякого народу про́пасть; пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые, долго ли свихнуться.

— На людях живем, мамынька, — успокаивал Гордей Евстратыч, — ежели бы что — слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит.

— А ты, милушка, все-таки посматривай...

— Ладно, ладно... Ты вот за Нюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится, да и за невестками тоже. Мужик если и согрешит, так грех на улице оставит, а баба все до-

мой принесет. На той неделе мне сказывали, что Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует... Может, зря болтают только, — бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю, они у меня и воды не замутят.

— Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка... Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их... Хоть кого на грех наведут.

Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей как огня и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее

Евстратыче он, конечно, не смел и носу показать на Смородинку, но без него он являлся сюда, как домой, и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему.

— Чего вам смотреть на старика-то, — говорил Пятов своим новым приятелям, — он в город закатится — там твори чего хочешь, а вы здесь киснете на прииске, как старые девки... Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете: любовницу себе завел... Вот сейчас провалиться — правда!.. Мне Варька шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда Вукола дома нет...

Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых.

— Эх вы, телята!.. — хохотал Володька. — Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного... Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро.

— Да ты врешь, Володька... Смотри!..

— Чего смотри?.. Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В арфистках

раньше была, потом с Шабалиным жила до Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему... Мне сама Варька сказывала — потому Шабалин пьяный все ей рассказывает.

Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретные удовольствия, был кровь с молоком, недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза, только ума у Володьки Пятова не было ни на грош: весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках, носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке.

— Погодите, батька смотрит-смотрит да еще жениться вздумает, — посмеивался Володька Пятов. — Что, испугались? То-то... Смотрите в оба, а то как раз наследников новых наживете.

Приисковые рабочие очень любили Во-

лодьку Пятова, потому что он последнюю копейку умел поставить ребром и обходился со всеми запанибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке.

Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу, как мертвую; Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем «на тех порах», так что ей и сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большею частью одна Ариша,

которую иногда сменяла только Нюша; дело было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятова сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода — молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку сама Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь задельем.

— Как у вас там, дома-то? — спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку.

— Чтой-то, маменька, как ты и спрашиваешь... — удивлялась Ариша.

— Да я так, Ариша, к слову пришлось... Муж-то как у тебя?

— Муж... да чего ему сделается, маменька?.. Будто редко теперь дома бывает, а так ничего.

— Ну а Татьяна Власьевна?

— И Татьяна Власьевна ничего...

Эти разговоры с маменькой кончились

тем, что ничего не подозревавшая Ариша наконец заплакала горькими слезами, почуя что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревелась с ней, хотя и догадалась бóльшую половину утаить от дочери.

— Только, ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори Дуняше, — упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком, — бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что... Мы с Матреной Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают, а все страшно как-то... Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то: как-нибудь про себя износим. Главное — не доведи до поры до времени до большаков-то, тебе же и достанется.

Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко — она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что что-то неладное творится в дому, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрого Татьяна Власьевна не хотела. «Может, и в самом деле нездоровится», — решила про себя

старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач: это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа; Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша, в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который, на счастье, не был в эту ночь дома.

Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагиными из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через пять минут старуха узнала наконец, что такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню.

— И ведь что говорят-то, — задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна. — Михалку пропойцом называют, а про Архипа... ну, одним словом, славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют... Ах, дай бог память... Домашкой ее зовут, из полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит, а старухи-то тростят страсть как... Будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и наговорят, Татьяна Власьевна... Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке. Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятова разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна; пустяки это все, я так думаю.

— Нет уж, Марфа Петровна, начала — так все выкладывай, — настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая от горя. — Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем-ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут — взять хоть

Агнею Герасимовну... Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья.

— Вот Агнея-то Герасимова все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши... Да. Только всего она Арише не сказала, чего промежду себя дома-то разговаривают. О чем бишь я хотела вам рассказывать-то?..

— О Володьке Пятове...

— Да-да... так. Третьего дня вечерком завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества: Михалку — насчет водки и к картам приучает, а Архипа — по женской части... А потом про Шабалина начали говорить да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке: дым коромыслом... А ребята-то молодые — им это и повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям... А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке шабалинской. Ей-богу, не вру... Ну а Варька-то заодно с Володькой обманывает Вукола-то Логиныча. А как вы думаете: на вино, да на карты, да на разные поступ-

ки с этими шлюхами ведь деньги надо?..

— Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна: ведь у Михалки с Архипом и денег сроду своих не бывало, отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые-то расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает, через его руки всякая копеечка проходит.

— Позвольте, Татьяна Власьевна... Я то же старухам говорю, а они на Володьку на Пятова все валят: он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит, и отца поучит обманывать в расчетах, и на всякие художества подымается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна Власьевна, так думаю, голубушка... Чужие-то дела куды ловко судить: и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь... Теперь взять хоть Агнею Герасимовну или Матрену Ильиничну: старухи, кажется, степенные, умницами слывут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а

не то что самим рассказывать... Так ведь, Татьяна Власьевна?

— Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму! Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают.

— Вот, вот, Татьяна Власьевна... Вместо того чтобы прийти к вам или вас к себе позвать да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы то подумайте, разве наши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну по глупости там или по малодушию, так Агнее-то Герасимовне с Матреной Ильиничной не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи да с вами бы беду и поправить.

— Так, так, Марфа Петровна. Справедливые слова ты говоришь... Будь бы еще чужие — ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои — вот что обидно.

— По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики эти самые Савины и Колобовы и есть... Ей-богу!..

— Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна... Что им за нужда на своих-то детей беду накликать?

— Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... А если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло... Вот и рады случаю придраться к вам!

Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых «обнесли напраслиной». Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания, Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамыньки почти безучастно и только прибавил:

— Ну, пусть их, мамынька... Почешут-почешут языки, да и отстанут. Всего не переслушаешь. Занялся бы я этими вашими сплетками, да, вишь, мне не до них: в Нижний собирать-

ся пора.

— А с кем ты поедешь-то, милушка?

— Не знаю еще... Может, Вукол поедет, так с ним угадаю.

— Ох, милушка, милушка... Вукол-то этот... сумлеваюсь я...

— Пустое, мамынька... Тоже, мамынька, и про Вукола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек.

— Ну как знаешь, милушка... А только ты поговорил бы с Аришей-то, больно она убивается. Расстраивают ее, ну, она и скружилась...

— Хорошо, мамынька, поговорю...

Гордей Евстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменился к ней, так по крайней мере думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее, не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать, то есть не то чтобы он бранился или кричал, а просто по всему было видно, что он недово-

лен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе и делался такой румяный — даром что старик. И глаза у него как-то особенно блестели, и Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал: смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит Дуня, и что вообще дома, при других, он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьевна послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила: Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке, — вообще дом был почти совсем пустой.

— Ступай, ступай, с тобой поговорить хочет отец-то... — посылала Татьяна Власьевна невестку. — Да говори прямо, все, что сама знаешь, как родимому отцу.

Ариша набросила свой ситцевый сарафан,

накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками.

— Вы, тятенька, меня звали на что-то...

— Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем ладком... Что больно приунищилась?.. Не бойсь, не укушу. Для вас же стараюсь...

Гордей Евстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином; она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом.

— Ну, Ариша, так вот в чем дело-то, — заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. — Мамынька мне все рассказала, что у нас делается в дому. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было... Так

ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил... Да-а. Одно тебе скажу: никого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают — все это вздор... Напрасно только расстраивают.

— Я ведь, тятенька, ничего...

— Хорошо... Ну, что муж тебя опростоволосил, так это опять — на всякий чох не наздравствуешься... Ты бы мне обсказала все, так Михалко-то пикнуть бы не смел... Ты всегда мне говори все... Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец... Будешь меня слушаться?

— Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила...

— И отлично... А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри: щенок еще он... Ну, ступай с Богом...

Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заалелась вся как маков цвет и даже закрыла лицо рукой.

— Видно, горько старого целовать? — спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ариши. — Ты ведь у меня умница... Только ничего никому не рассказывай — поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе наособицу... А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово...

— Нет, мне, как другим, тятенька... Я не хочу наособицу...

— Ах ты, глупая... А если я хочу? Понимаешь: я этого хочу!

«Видно, отец-то поначалил крепко...» — подумала Татьяна Власьевна, взглянув на красное лицо выходившей из горницы Ариши.

Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.

Глава 14

Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу: бабушке — парчи на сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям — разного платья и невесткам — тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише; первой — бархатная шубка на собольем меху, а второй — весь золотой «прибор», то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу:

— Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу…

— А ежели я так хочу, мамынька? — упрямо заявил Гордей Евстратыч. — Может, она мне лучше всех угодила, ну и дарю…

— Дуне опять завидно, милушка…

— Ну, Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем.

— Ох, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять… Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый

народ пошел, не к нам будь сказано! А ты, милушка, никак бороду-то себе подкорнал на ярмарке?

— Немножко, мамынька... Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамынька, да тоже бороды себе подправляют, ну и я маненько подправил, так, самую малость...

Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему ни приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал «форсить» в том же роде, как форсил Вукол Шабалин. И платья себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться — вообще крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в го-

род сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном: в длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки навыпуск — одним словом, «оделся патретом», как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу белоглинскую пора, мамынька, нам оставлять, — коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, — а то в добрые люди нос показать совестно...» Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно, она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное: с женским инстинктом старуха почуяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить: немку себе завел... Она с ним и в Нижний ездила, она и переодела его, и бороду подстричь заставила — одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу шабалинская Варя, — это уж ее рук дело.

— И денег он на эту немку травит, страсть... Квартиру ей завел в городу и всякое

прочее, — объясняла Марфа Петровна. — У Колобовых да у Савиных в голос все кричат про нее.

— А я так думаю, Марфа Петровна, что пустое это болтают, — обрезала Татьяна Власьевна, — как тогда про ребят наших наврали тоже. Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла... Так и теперь, пустое плетут на Гордея Евстратыча...

Такой ответ и удивил, и обидел Марфу Петровну: значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими. Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она вовремя спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости.

— Я ведь и сама то же самое думаю, — заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. — И раньше я вам говорила... Все это Савины да Колобовы придумывают.

К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип по-прежнему оставались на

прииске. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдохнуть. «Молоды еще отдыхать-то, — говорил он на все доводы Татьяны Власьевны, — пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьевна решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство. А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю; он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьевна давно и счет потеряла. Какие-то, господь их знает, шаромыжники не шаромыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч и говорит, что это и есть самая настоящая компания и все эти господа всё нужный народ. Для чего они были нужны — Татьяна Власьевна не могла дать ума, потому что этаковой-то бросовый народ какие такие дела мог делать... А тут еще приехала из своего Верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить: так братцем и поворачивает, как хорошим болваном. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна,

можно сказать, все произошла и могла поставить брагинский дом на настоящую точку, как в других богатых домах все делается, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Нюши и произошло изгнание Зотушки.

— Вот теперь и полюбуйся... — корила свою модницу Татьяна Власьевна, — на кого стала наша-то Нюша похожа? Бродит по дому, как омморошная... Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка... Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается? Стыдобушка нашей головушке, а чья это работа? Все твоя, Аленушка...

— Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала! Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не чета Алешке-то Пазухину... У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки, так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить, мамынька, а в богатом дому как пока-

зать этакое чучело?.. Вам, обнаковенно, Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так. Только один срам от него и выходит братцу Гордею Евстратычу.

— Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться... Все под Богом ходим. Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот ужо Господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость.

— Ах, мамаша, ничего вы не понимаете!.. — заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. — Нельзя же по-прежнему жить без всякого понятия...

Татьяна Власьевна заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьевна. Это задело старуху, потому что чего им было скрываться от родной матери. Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьевна пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертыва-

лась.

«Ох, недаром наша Алена Евстратьевна вертится, как береста на огне», — думала про себя старуха.

И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое: в нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал невпопад или спрашивал что-нибудь непутевое, совсем не к месту. «Ужо надо с отцом Крискентом посоветоваться, — решила Татьяна Власьевна, — больно неладно с отцом-то у нас... Может, это он от этих новых знакомых, а может, оттого, что водки начал принимать в себя даже очень предовольно». Отец Крискент с своей обычной благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил:

— Да, да... Помните, я говорил вам тогда,

Татьяна Власьевна: богатство — это испытание. Оно испытание и выходит...

— Уж я, право, отец Крискент, даже не рада этой нашей жилке; все у нас от нее навыворот пошло... Со всеми рассорились, не знаю за что; в дому сумление.

— Я вам говорил... да, говорил, — сочувственно повторял о. Крискент, покачивая своей головкой. — Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна.

В вящее подтверждение своих слов о. Крискент с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника.

— Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые-то знакомые отшатились! Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины... И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями, ну, с этого и пошло... А теперь сваты-то слышать об нас не хотят.

— Да, да... — лепетал о. Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. — А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпыч тогда восстал на меня...

Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных попов. А ежели разобрать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да... Я говорю, что богатство — испытание. Ваше-то золото и меня достало, а я претерпел и вперед всегда готов претерпеть.

— Ох, верно, отец Крискент... Вам все это зачтется, все зачтется...

— А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна, много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами — я тогда неутомим, я... Теперь взять хотя ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратьевны.

— Задумывается он все, отец Крискент... А о чем ему думать? Слава богу, всего, кажется, вдоволь, и только жить да радоваться нужно... Конечно, обнесли напраслиной внучков моих, про Гордея Евстратыча болтают разное,

совсем неподобное...

— Неподобное?

— Да... Даже рассказывать совестно.

— Ах да, слышал, слышал... Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна.

Руки о. Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой: ему пришла великолепная мысль.

— Знаете что, Татьяна Власьевна? — заговорил о. Крискент с подобающей торжественностью. — Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на Бога... Да? Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и докончим... Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно высказал ревности к Божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет ста-

раться для Бога, враг человеческий и отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я готов претерпеть всегда.

— Непременно восстанут, отец Крискент: и Савины, и Пазухины, и Колобовы...

— Я сие предвижу и не устрашаюсь, поелику этим самым устроим два благих дела: достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа... Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту — вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом в старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит.

Мысль была великолепная и совпадала с планами о. Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения.

— Гордей Евстратыч собирается себе дом строить, — рассказывала Татьяна Власьевна, — да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он старый-то, в котором теперь живем, хотел поправлять, только подумал-поду-

мал и оставил. Не поправить его по-настоящему, отец Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья женатые, детки у них; того и гляди, тесно покажется — вот он и думает новый домик поставить.

— И отлично... Это даже превосходно, Татьяна Власьевна: одной рукой будет ревновать для Господа, другой для себя. А что у вас Нюша?

— Ох, и не спрашивайте... Высохла девка совсем: не знаем, что с ней и делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила...

— Гм... И нельзя поправить?

— Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас, очень осердились. Конечно, Нюша еще молода, износит и не такую беду, только все-таки оно жаль, жаль смотреть-то на нее.

Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству Божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старич-

ками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать Господеви, да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего: как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм Божий, как он умилительно поет на клиросе по дванадесятым праздникам, как истово знает все четьи минеи, и о. Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат не кому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще дело быстро катилось вперед, к своему естественному концу, и о. Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарпычем Пятовым. Это была самая щекотливая часть взятой на себя о. Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на своем жестком

монашеском ложе, о. Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, о. Крискент побаивался трех личностей: у Колобовых — самого Самойла Михеича, нравного и крутого на язык старика, у Савиных — самой, то есть Матрены Ильиничны, начетчицы и большой исправщицы, а у Пазухиных — злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали.

Помолившись и еще раз вспомнив о великой «разделительной силе златого бисера», о. Крискент отправился прежде всего к Савиным, где Матрена Ильинична встретила его с гордой холодностью, — она уже наслышалась о подходцах, хотя и удивилась, когда о. Крискент после необходимых вступительных благоразмышлений приступил к самой сущности.

— Значит, Нила-то Поликарпыча по шеям? — обрезала Матрена Ильинична медото-

чивого оратора.

— Нет, я не говорю этого, Матрена Ильинична, а только делаю уповательное рассуждение...

— Ну а Самойла Михеича куда денешь? Он ведь кандидатом числится у нас в старосты...

— А может быть, Самойло Михеич сам откажется от прохождения службы в чине церковного старосты?

— А я тебе вот что скажу, отец Крискент... Все у нас было ладно, а ты заводишь смуту и свары... Для брагинского-то золота ты всех нас разгонишь из новой церкви... Да! А помнишь, что апостол-то сказал: «Вся же благообразна и по чину вам да бывают». Значит, ежели есть староста и кандидат в старосты, так нечего свои-то узоры придумывать. Так и знай, отец Крискент.

Отец Крискент только склонил свою головку, ибо чувствовал себя в этом деле, то есть относительно Самойла Михеича, правым вдвойне: во-первых, он был только кандидат, а затем — Самойло Михеич прикержачивал. Конечно, этих мыслей о. Крискент не высказал Матрене Ильиничне, а, приняв на свою

главу еще несколько ядовитых словес, с смирением потек к Колобовым. Там было не лучше. Самойло Михеич сначала прикинулся, что ничего не понимает, а потом наговорил о. Крискенту кучу мужицких грубостей вроде того, что нынче попы сидя обедни служат, а приход будет лежа Богу молиться. Это стоило «деревянных» попов Нила Поликарпыча. У Пазухина о. Крискента в свою долю отполировала Марфа Петровна. Вообще, испытание оказалось тяжелее, чем предполагал о. Крискент; он не ожидал проявления такого духа строптивости от своего словесного стада. Раньше он решил испить чашу до дна за один прием, то есть разом побывать у всех, но теперь он почувствовал себя слишком разбитым, чтобы идти еще к Нилу Поликарпычу, своему явному недоброжелателю. Удрученный самыми невеселыми мыслями, о. Крискент забрел в брагинский дом, чтобы подкрепить себя душеспасительной беседой с Татьяной Власьевной и поведать ей вынесенные сегодня поношения. У Брагиных дома были только одни женщины, и Татьяна Власьевна приняла о. Крискента с надлежащим поче-

том, как самого дорогого гостя.

— А я только хотела идти к вам, отец Крискент, — заговорила Татьяна Власьевна, когда они остались с глазу на глаз.

— Что такое случилось?

— Уж я вот все по порядку, отец Крискент, обскажу... Тогда я пришла от вас и к слову молвила Гордею Евстратычу про старосту-то. Думаю, как бы он чего еще не вздумал артачиться, тоже ведь как на это взглянет. Ну, сказала я это ему, а он ничего, стал расспрашивать, что и как, а потом сам и говорит: «Мамынька, надо будет помириться с Пятовым-то... Напрасно он обидел меня тогда, ну, да господь с ним...» Я даже сперва-то ушам своим не поверила, а он опять: «Мы, — говорит, — мамынька, Алену Евстратьевну зашлем сперва к Нилу-то Поликарпычу, она насчет разговору-то у нас простовата. Пусть там поразведает».

Это известие приятно изумило о. Крискента, у которого точно гора свалилась с плеч от слов Татьяны Власьевны, хотя он, собственно, не мог сразу проникнуть всего значения такого неожиданного оборота дела.

— Это будет настоящий христианский подвиг, Татьяна Власьевна, — проговорил он, собираясь с мыслями. — Видите, только вы сказали еще одно слово, а дух разделения уже оставил Гордея Евстратыча.

— Верно, верно, отец Крискент... И ведь как это преотлично вышло! А я сначала-то даже не поверила... Только потом, когда раздумалась и вспомнила ваши-то слова о злом духе...

— Не любит он, Татьяна Власьевна, благочестивых подвигов...

— Да, да... А Гордея-то Евстратыча, может, и то еще смутило, что Зотушка-то теперь у Пятовых живет... Приютили они его, а Гордею-то Евстратычу совестно против них, вот он и хочет выправиться за один раз... Да и Алена-то Евстратьевна тут же подвернулась...

— Оно уж одно к одному... Бог даст, и совсем искореним разделительную силу злата. Довольно с вас испытаний.

— Ох, довольно, отец Крискент! А мне, старухе, в другой раз так, пожалуй, и совсем не под силу приходится... Даже роптала сколько раз!

Действительно, модница Алена Евстратьевна на другой же день отправилась в пятовский дом и вернулась оттуда с самыми утешительными вестями. Нил Поликарпыч очень рад помириться и готовится испросить прощения у обиженного им напрасно о. Крискента. Татьяна Власьевна даже прослезилась от умиления и не знала, как ей благодарить о. Крискента за его благую мысль.

— Только бы с Пятовыми помириться, — соображала про себя Татьяна Власьевна, — а там помаленьку и с другими со всеми помиримся. Только бы отогнать злого-то духа, разделителя от милушки!.. Устрой, Господи, все на пользу.

Свидание недавних «противителей» было назначено в пятовском доме, почему хлопот Фене и Зотушке был полон рот. Нужно было все прибрать, да убрать, да приготовить. Ведь сама Татьяна Власьевна пожалует, а у ней глазок-смотрок, только взглянет и всякую неполадку насквозь увидит. Господский дом был старинной постройки, с низкими потолками, узкими окнами и толстыми кирпичными стенами, каких нынче уже не строят, за

исключением, может быть, крепостей и монастырей. В комнатах все было устроено тоже по-старинному: пузатая мебель красного дерева, кисейные занавески на окнах, тюменские ковры на полу, орган «с ошибочкой в дудках», портреты генералов и архиереев на стенах, клетка с канарейками и т. д. Феня была большая охотница до цветов, и все окна были уставлены цветочными горшками, но и цветки были тоже все старинные: герани, кактусы (эти кактусы сильно походили на шишковатые зеленые косы, которые вылезали прямо из земли), петухи, жасмин, олеандры, гортензии и т. д. Модные цветы в Белоглинском заводе были только в шабалинском доме, но Феня не понимала экзотической декоративной зелени, которая всегда оставалась мертвой и не расцветала ни одним алым цветком. Все эти пальмы, филодендры, драцены, фикусы, агавы и папирусы наводили на нее тоску.

— Пошевеливайся, Зотушка! — покрикивала Феня на своего помощника. — Надо поспеть убраться до вечера, а то, пожалуй, скажут про нас с тобою неладно что-нибудь. Але-

на Евстратьевна бедовая у вас. Да что ты сегодня точно мертвый?

Зотушка действительно что-то крепко призадумался и все вопросительно поглядывал на барышню Фенюшку. Теперь он задумчиво почесал у себя в затылке и проговорил:

— Тяжело у меня на сердце, Федосья Ниловна.

— Что так?

— Да уж так: чует оно что-то неладное... Уж это завсегда у меня так. Чуть что — и засосет...

— Перестань врать-то... Чего тебе чуять-то? Слава богу, что так все устроилось, будет старикам-то вздорить. Мне отца Крискента страсть как жалко тогда было, когда тятенька его обидел...

— Хорошо-то оно хорошо, это точно, а все-таки оно не совсем... Ох, недаром эта модница, наша Аленушка, прилетала! С добром она не ходит, не нам будь сказано.

— Да что она может сделать?

— Эх, барышня, барышня... Чужая душа потемки, барышня, а только неспроста сестричка прилетала. Грешный человек — не люблю

ее: вот тебя люблю, а ее нет. Душа не лежит к человеку, голубушка Фенюшка...

Феня серьезно побаивалась гостей, то есть, собственно, Татьяны Власьевны и Алены Евстратьевны, которые своим женским всевидящим взглядом увидят каждую соринку, каждый хозяйственный промах. Девушка целых два дня хлопотала по всему дому, чтобы все было как следует, как у других. Она перебрала посуду, столовое серебро, скатерти, двадцать раз сбегала вниз к кухарке Анисье, чтобы самой за всем досмотреть и все приготовить. В порыве усердия она даже подстригла и перемыла все цветы, точно зоркий глаз бабушки Татьяны мог заметить каждый засохший листочек. В назначенный день, когда вечером должны были собраться гости, Феня испытывала лихорадочное волнение и с четырех часов перебегала от окна к окну, выглядывая — не покажутся ли знакомые крашеные пошевни, в которых обыкновенно приезжала Нюша. В своем шерстяном платье цвета бордо, плотно охватывавшем ее статную фигуру, девушка была очень красива, а тревога и беспокойство придавали ее лицу такое хорошее

выражение. Нил Поликарпович тоже чувствовал себя не совсем спокойно и все старался прикрыть свою лысину остатками волос, сохранившимися на висках. Для воодушевления он несколько раз пробовал было затянуть: «Твоя победительная десница», но ничего не выходило, и он неровно начинал шагать по зале, поправляя ногами ковры и пробуя произвести некоторую симметрию в цветочных горшках. Это был тихий и молчаливый человек с очень развитыми семейными наклонностями; Феню любил он до безумия, хотя и не умел проявить своего чувства громкими внешними формами, как делают другие отцы. Но Феня сердцем чувствовала эту любовь и ценила своего молчаливого, немножко странного отца.

Первыми приехали бабушка Татьяна с Аленой Евстратьевной.

— А где Нюша? — спрашивала Феня, выскакивая встречать гостей на крыльцо.

— Дома осталась, дома... Что-то головой скудается, — ответила бабушка Татьяна, целуясь с Феней. — Отец-то дома?

— Дома, дома... Здравствуйте, Алена Ев-

стратьевна!..

— Гордей Евстратыч сейчас приедет, он заехал только за отцом Крискентом, — ответила бабушка Татьяна на немой вопрос Фени.

Нил Поликарпыч встретил гостей в передней и с молчаливой улыбкой провел их в гостиную, куда Анисья уже тащила большущий поднос с чашками. Модница Алена Евстратьевна разоделась в шелковое зеленое платье со шлейфом и в кружевную наколку; она была в зеленых перчатках и золотых серьгах с малиновыми шерлами. Женщины, конечно, зорко оглядели комнаты и, похвалив молодую хозяйку за образцовый порядок, уселись вокруг стола. В это время подкатили сани с Гордеем Евстратычем и о. Крискентом; Нил Поликарпыч выбежал встречать их на крыльцо, а затем провел в гостиную, где и состоялась трогательная сцена примирения. Гордей Евстратыч и Нил Поликарпыч облобызались и обнялись, а затем Нил Поликарпыч отвесил земной поклон о. Крискенту и со смирением проговорил:

— Прости и благослови, отче, меня, окаянного.

— Бог тебя простит, Нил Поликарпович, а я давно простил, поелику сие было только разделительное недоразумение отъинуда. Жили мы с тобой до старости, не ссорились, а теперь и подавно не следует нам ссориться. Мир дому сему, и паки мирови мир...

Чай прошел в самой непринужденной дружеской беседе, причем все старались только об одном: чтобы как можно угодить друг другу. Отец Крискент торжествовал и умиленно поглядывал на Татьяну Власьевну, выглядывавшую в своем шелковом темно-синем сарафане настоящей боярыней. Гордей Евстратыч, в новом городском платье, старался держаться непринужденно и весело шутил. Когда подана была закуска, общее настроение достигло последних границ умиления, и Нил Поликарпович еще раз облобызался с Гордеем Евстратычем.

— Испытание, испытание... — лепетал о. Крискент, вознесенный даже до третьего блаженства. — Нужно все претерпевать. Да!

За закуской мужчины долго толковали о своих делах, то есть о постройке новой церкви, о должности церковного старосты и т. д.

Гордей Евстратыч говорил, что он рад потрудиться для Божьего дела и чувствует себя еще в силах; потом начал рассказывать о доме, который затевал строить. Место уже было подсмотрено, только Гордей Евстратыч выжидал еще одного случая, а какого случая — он недосказал. Татьяна Власьевна вслушивалась в этот разговор, и ей не нравился тот тон, каким говорил Гордей Евстратыч о своем новом доме и о том, что он еще в силах, точно он хвастался перед Нилом Поликарпычем; потом старухе не понравилось, как себя держала модница Алена Евстратьевна с молодой хозяйкой, точно она делала ей какой экзамен. Феня краснела и смущалась, а Алена Евстратьевна с какой-то загадочной улыбкой величественно кивала головой и время от времени все взглядывала на братца Гордея Евстратыча, который почему-то смущался и начинал кусать свою подстриженную бороду.

В восемь часов был подан ужин, потому что в Белоглинском заводе все ложатся очень рано. Стряпня была своя домашняя, не заморская, но гости находили все отличным и говорили нехитрые комплименты молодой хозяй-

ке, которая так мило конфузилась и вспыхивала ярким румянцем до самой шеи. Гордей Евстратыч особенно ласково поглядывал сегодня на Феню и несколько раз принимался расхваливать ее в глаза, что уж было совсем не в его характере.

— Я и не знал, что твоя Феня такая хозяйка, — говорил он Нилу Поликарпычу, поглаживая бороду. — Вон у меня их трое, молодых-то, в дому, а толку, пожалуй, супротив одной не будет.

Алена Евстратьевна подхватывала похвальные слова братца и еще сильнее заставляла краснеть смущенную Феню, которая в другой раз не полезла бы за словом в карман и отделала бы модницу на все корки; но общее внимание и непривычная роль настоящей хозяйки совсем спутывали ее. Отец Крискент хотел закончить этот знаменательный день примирением Гордея Евстратыча с Зотушкой, но когда хватились последнего — его и след простыл. Это маленькое обстоятельство одно и опечалило о. Крискента и Татьяну Власьевну.

— Ну, уважила ты нас всех, Феня, — гово-

рил на прощанье Гордей Евстратыч. — Пожалуй, я этак часто поважусь к вам в гости ездить...

— Чтой-то, милушка, пристали вы сегодня к девке, — останавливала Татьяна Власьевна. — Проходу не даете...

— Да ведь я так... Мне, старику, можно поболтать пустяки с молоденькими. Ведь я старик, Феня? Уж дедушка давно!

— Какой вы старик, — наивно ответила Феня. — Вот тятенька действительно старик, а вы еще...

— Что еще-то?

Феня окончательно смутилась и не знала, что ей ответить.

— Я еще у тебя, Феня, в долгу, — говорил Гордей Евстратыч, удерживая на прощанье в своей руке руку Фени. — Знаешь за что? Если ты не знаешь, так я знаю... Погоди, живы будем, в долгу у тебя не останемся. Добрая у тебя душа, вот за что я тебя и люблю. Заглядывай к нам-то чаще, а то моя Нюша совсем крылышки опустила.

Глава 15

Примирение с Пятовыми точно внесло какую благодать в брагинскую семью; все члены ее теперь вздохнули как-то свободнее. Гордей Евстратыч «стишал» и начал походить на прежнего Гордея Евстратыча, за исключением своего нового костюма, с которым ни за что не хотел расстаться. Михалко и Архип выезжали теперь с прииска раза три в неделю, и невестки вздохнули свободнее. Точно к довершению общего благополучия, у Дуни родилась прехорошенькая девочка.

— Мне мальчишек больше не надо, — говорил счастливый Гордей Евстратыч. — Девочка не в пример лучше...

Татьяна Власьевна поняла последние слова как утешение Дуне, которой хотелось иметь первенцем сына; но Гордей Евстратыч говорил совершенно серьезно и пестовал маленькую Таню даже больше, чем своего внука Степушку. Когда Татьяна Власьевна предложила в кумовья Нила Поликарпыча, Гордей Евстратыч точно испугался и сказал, что у него уже есть кум, знакомый золотопромыш-

ленник, а кумой будет сестрица Алена Евстратьевна. Теперь Пятовы часто бывали у Брагиных и Брагины у Пятовых. Вообще все шло как по маслу, и только в общем довольстве не принимал никакого участия один Зотушка, который в самый момент примирения Гордея Евстратыча с Нилом Поликарпычем перебрался совсем из пятовского дома под крылышко Агнеи Герасимовны, где и проживал все время. Как ни старались залучить Зотушку, чтобы помирить с братцем Гордеем Евстратычем, — все было напрасно. Феня нарочно ездила к Колобовым, чтобы выпытать у Зотушки, почему он не хочет мириться, но ничего не могла добиться. Зотушка плакал от радости, когда видел свою барышню, но на все расспросы говорил самые непонятные слова: «Так уж лучше будет, моя барышня...», «Погоди, вот ужо соберусь...» и т. д.

— Ведь это грешно, наконец, Зотушка, — увещевала упрямого божьего человека Феня. — Бабушка Татьяна много слез из-за тебя пролила...

— Я сам, барышня Фенюшка, плачу обо всех, часто плачу... А бабушке Татьяне скажи

от меня, что ее слезы еще впереди, большие слезы.

— Что ты, Зотушка, господь с тобой! Какие ты слова говоришь?..

— А ты думаешь, мне легко их говорить? И тебе, барышня моя распрекрасная, тоже слезы будут... Да.

— Ну, уж я-то не заплачу, ты это напрасно говоришь...

— Вот и заплачешь, вместе с бабушкой Татьяной заплачешь... Покудова сестрица Алена Евстратьевна будет гостить — Зотушка не придет. Так и бабушке Татьяне скажи, Феня.

— Ах, какой ты несговорный, Зотушка. Ну стоит на тетку Алену сердиться? Ты знаешь, какая она, значит, и толковать о ней нечего...

— Знаю, все знаю, чего и вы не знаете. Да... А мне тебя жаль, Феня, касаточка, вот как жаль.

Зотушка действительно несколько раз начинал плакать и со слезами целовал белые ручки барышни Фенюшки.

— Вздор мелет! — сердито отрезала Татьяна Власьевна, когда Феня передавала ей свои разговоры с Зотушкой. — Это его Колобовы да

Савины настраивают... Что ему скажут, он то и мелет.

Перед самым Рождеством Зотушка жестоко закутил, и его оставили в покое.

Благодаря неутомимым хлопотам о. Крискента Гордей Евстратыч был наконец выбран церковным старостой. Когда Савины и Колобовы узнали об этом, они наотрез отказались ходить в единоверческую церковь и старались также смутить и Пазухиных. Такие проявления человеческой злобы сильно смущали о. Крискента, но он утешал себя мыслью, что поступал совершенно справедливо, радея не для себя, а для церковного благолепия.

— Савины и Колобовы не ко мне в церковь ходят, а к Богу, — говорил о. Крискент со смирением. — Всуе мятутся легковернии...

Но Савины и Колобовы думали несколько иначе и даже послали на о. Крискента два доноса — один преосвященному, а другой в консисторию, находя выборы нового старосты неправильными. Узнав об этом, о. Крискент не только не смутился, но выказал большую твердость духа и полную готовность претерпеть в борьбе с разделительными силами,

волновавшими теперь его словесное стадо.

А Гордей Евстратыч уже вступил в отправление своих старостинских обязанностей, и все прихожане не могли им нахвалиться. Первым его подвигом в новой обязанности было то, что он пожертвовал в новую церковь весь иконостас, то есть заказал его на свой счет, а затем помогал везде, где только показывалась церковная нужда: сшил церковным каморникам новые кафтаны, купил новое паникадило, сделал новые праздничные ризы и т. д. Эти пожертвования, на худой конец, стоили тысяч пять, и все преклонялись пред благотворительностью нового тысячника Гордея Евстратыча. Истинным любителям церковного благолепия, какие встречаются только в единоверческих церквах, больше всего нравился сам Гордей Евстратыч, когда он стоял за старостинским прилавком в своем старостинском кафтане. Это был такой осанистый, красивый старик, точно на заказ. Все, что он делал, выходило у него так торжественно и благочестиво, что даже о. Крискент любовался из алтаря новым старостой, когда он с степенной важностью ставил свечи, откладывая

широкие единоверческие кресты. Последняя бабенка, ставившая копеечную желтую свечку, и та чувствовала, что ее жертва точно будет приятнее Богу, если пройдет через руки Гордея Евстратыча... И Нил Поликарпыч, конечно, был отличный староста, но у него был один, очень неприятный недостаток: Нил Поликарпыч, по своей рассеянности, часто забывал, кому заказаны были свечи, и ставил их наугад. Впрочем, при особенной ревности единоверцев ставить свечи пред образами трудно было и не перемешать, когда, например, у старосты на руках зараз являлось свеч пятнадцать или двадцать. Но Гордей Евстратыч в этом случае обладал исключительно счастливой памятью и скоро совершенно затмил своего предшественника.

— Тебе и книги в руки, Гордей Евстратыч, — сознавался сам Пятов, когда они вечерком сидели в гостиной о. Крискента за стаканом чаю. — Экая у тебя память... А меня часто-таки браковали бабенки, особенно которая позубастее. Закажет Флору и Лавру, а я мученику Митрофану поставлю.

Вообще Гордей Евстратыч оказался как раз

на своем месте и отнесся к своим новым обязанностям с особенною ревностью, так что удивлял даже о. Крискента.

Благодаря новому старосте праздничная служба на Рождестве отличалась особенной торжественностью. Единоверческая церковь, низенькая и тесная, переделанная из старинной раскольничьей молельни с полатями и перегородкой посредине, была вычищена до последнего уголка; множество свеч, новые ризы на священнике и дьяконе, наконец, сам новый староста в своем форменном кафтане — все дышало благолепием. Вся брагинская семья была в церкви. Впереди других, у левого клироса, стояла в белом кисейном платье Феня Пятова; она была необыкновенно хороша, как распустившаяся роза. Гордей Евстратыч часто поглядывал на нее и, когда ходил ставить свечи к местным образам, проходил мимо нее так близко, что задевал ее локтем. Девушка опускала глаза и едва заметно улыбалась; Гордей Евстратыч чувствовал эту тихую улыбку, которая мешала ему молиться, и даже сердился на Феню и других девок, которые выпятились вперед. Недаром прежде

молельня была разделена глухой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую: соблазну никакого. Даже Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч молится как будто не совсем истово, и сделала ему строгий выговор.

Святки для Брагиных на этот раз прошли необыкновенно весело, хотя особенных гостей и не было, кроме Порфира Порфирыча, Шабалина, Липачка и Плинтусова. Молодежи набралось столько, что устраивали святочные игры, пели песни, гадали и т. д. Порфир Порфирыч оказался самым подходящим человеком, чтобы топить олово, ходить по улицам и спрашивать у встречных, как зовут жениха, играть в жмурки и вообще исполнять бесчисленные причуды развеселившейся молодежи. Феня и Нюша одевали Порфира Порфирыча в сарафан бабушки Татьяны и в ее праздничную сорочку и в таком виде возили его по всему Белоглинскому заводу, когда ездили наряженными по знакомым домам. Даже Нюша и та заметно «отошла» и, кажется, начинала помаленьку забывать своего Алешку. Зотушка устраивал костюмы, но сам

не участвовал в общем веселье, ссылаясь на головные боли и какое-то «трясение» после недавнего пьянства. Вообще веселье лилось через край, всяк куролесил в свою долю. Ариша была мастерица заводить песни, Феня — плясать и т. д. Старики больше любовались на молодежь, прохаживались по закускам и калякали о своих собственных делах. Раз подгулявший Гордей Евстратыч сильно тряхнул стариной, то есть прошелся с Феней русскую.

— Только для тебя, Феня, и согрешил!.. — говорил расходившийся старик, вытирая вспотевшее лицо платком. — По крайности буду знать, в чем попу каяться в Великом посте... А у меня еще есть до тебя большое слово, Феня.

— Какое слово?

— А уж такое... Давно собираюсь переговорить, да все как-то время не выбирается. Не оставляй ты, Феня, моей-то Нюши...

— Что вы, Гордей Евстратыч! Да разве я... мы душа в душу с Нюшей живем. Сами знаете.

— Все вы, девки, так-то душа в душу живете, а чуть подвернулся жених — и поминай

как звали. Так и твое дело, Феня: того гляди, выскочишь, а мы и остались с Нюшей-горюшкой.

— Я замуж не пойду...

— Ладно, ладно... У всех у вас одна вера-то!

Гордей Евстратыч дружелюбно похлопал Феню по плечу и подумал про себя: «Экая девка уродилась, подумаешь... а?»

Конечно, от бдительности Татьяны Власьевны и о. Крискента не ускользнуло особенное внимание, с каким Гордей Евстратыч относился к Фене. Они по-своему взглянули на дело. По мнению Татьяны Власьевны, все обстоятельства так складывались, что теперь можно было бы помириться с Савиными и Колобовыми, — недоставало маленького толчка, каких-нибудь пустяков, из каких складываются большие дела в жизни. Именно она с этой точки зрения и взглянула на отношения Гордея Евстратыча к Фене.

— Он-то ее даже очень уважает, — говорила бабушка Татьяна о. Крискенту, — вот я и думаю: ежели бы Феня замолвила словечко, может, Гордей-то Евстратыч и совсем бы стишал...

— Глас девственницы имеет великую силу над мужским полом, — глубокомысленно изрек о. Крискент. — Сему есть много даже исторических примеров...

— А уж как бы хорошо-то было... Сначала бы насчет Савиных да Колобовых, а потом и насчет Пазухиных. То есть я на тот конец говорю, отец Крискент, что Нюшу-то мне больно жаль да и Алексея. Сказывают, парень-то сам не свой ходит... Может, Гордей-то Евстратыч и стишает.

Ободренные первым успехом борьбы с разделительной силой злого духа, когда они помирили Гордея Евстратыча с Пятовым, старики порешили теперь воспользоваться «гласом девственницы». Бабушка Татьяна сама переговорила с Феней, а та с жаром ухватилась за это предложение, только просила об одном, что сначала переговорит с Гордеем Евстратычем о Нюше, а потом уж о Савиных и Колобовых.

— Ну как знаешь, милушка, — говорила бабушка Татьяна, крестя девушку...

— Так лучше будет... Гордей-то Евстратыч сам мне намекнул маленько, да я мимо ушей

пропустила тогда.

Феня рассказала, как Гордей Евстратыч говорил ей, что у него для нее есть «великое слово» и в чем оно заключается.

Бабушка Татьяна не совсем поняла объяснения Фени.

— Да ты, бабушка, не сумлевайся: он это и хотел сказать. Я теперь только поняла... Все выйдет как по писаному.

— Стара я стала, милушка, загадки-то разгадывать, а сдается мне, как будто оно и не совсем так...

— Нет, уж так, бабушка Татьяна.

Они вместе выбрали и время, когда переговорить Фене с Гордеем Евстратычем, — за день до крещенского сочельника, когда у Пятовых будут приглашены гости на вечер.

Действительно, к Пятовым съехалось много гостей, и в том числе был и Гордей Евстратыч. Феня выждала, когда гости подкрепятся закуской и Гордей Евстратыч совсем развеселится. Он уже закидывал к ней две-три свои жесткие шуточки и весело разглаживал свою подстриженную бороду.

— А мне с вами, Гордей Евстратыч, погово-

рить надо... — заговорила Феня, улучив удобную минутку.

— Вот как... Что такое случилось?

Феня немного смутилась и, ощипывая платок, который держала в руках, вопросительно подняла свое лицо на Гордея Евстратыча. Это девичье лицо с ясными чистыми глазами было чудно хорошо теперь своим колеблющимся выражением: в нем точно переливалась какая-то сила. Гордей Евстратыч улыбнулся, и Фене показалось, что он нехорошо как-то улыбнулся... Но время было дорого, и, после минутного колебания, она проговорила:

— Здесь неловко разговаривать, Гордей Евстратыч. Я вас проведу в свою комнату.

До комнаты Фени было всего несколько шагов — перейти залу и гостиную. Хозяйка указала гостю на стул около туалета красного дерева, а сама поместилась по другую его сторону.

— Ну, в чем дело, Феня? — ласково спрашивал Гордей Евстратыч, мельком оглядывая закрытую пологом односпальную кровать.

— Помните, Гордей Евстратыч, как вы мне тогда сказали про великое слово о Нюше...

Вот я хочу поговорить с вами о нем. Зачем вы ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода: кукла какая-то, а не живой человек... Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Я это не к тому говорю, чтобы мне самой очень нравился Алексей... Я и раньше смеялась над Нюшей, ну, оно вышло вон как. Если он ей нравится, так...

— Так и отдать ее Алешке? — докончил Гордей Евстратыч и тихо так засмеялся. — Так вот зачем ты меня завела в свою горницу... Гм... Ежели бы это кто мне другой сказал, а не ты, так я... Ну, да что об этом говорить. Может, еще что на уме держишь, так уж говори разом, и я тебе разом ответ дам.

— А не рассердитесь на меня?

— Глядя по словам, какие говорить будешь... И муха не без сердца...

Феня посмотрела на своего собеседника. Лицо у него было такое доброе сегодня, хотя он смотрел на нее как-то странно... «Э, семь бед — один ответ!» — решила про себя девушка и храбро докончила все, что у ней лежало на душе...

— Есть и еще, Гордей Евстратыч... — заговорила она уже смелее. — Помните, как вы ссорились с тятенькой? Ну, кому от этого легче было, — никому. А помирились — и всем праздник. Вот как Святки-то отгуляли...

Феня весело засмеялась и даже тряхнула своей русой головой. Гордей Евстратыч тоже засмеялся и дрогнувшей рукой схватился за край резного туалета, точно смех Фени уколол его.

— Одним словом, я на вашем месте давно бы помирилась с Савиными и Колобовыми... Ей-богу!.. А то бог знает что у вас в семье делается; невесткам-то небось весело глядеть, как вы волками друг на дружку глядите, да и бабушке Татьяне тоже. Вы бы этак же и помирились, как с тятенькой... Лихо бы закутили!.. Уж если у вас самих язык не ворочается, так я сама бы все оборудовала: поехала бы к Савиным да к Колобовым и сказала, что вы сокрушаетесь очень, а самим приехать как-то неловко, а потом то же самое сказала бы вам... Ведь только бы и всего?.. Право... А то теперь те даже в церковь перестали ходить, отцу Крискенту делают неприятности... Ох уж

эти мужчины: чистые петухи...

— Как ты сказала?

— Чистые петухи, сказала. Тесно вам, подумаешь, в Белоглинском-то заводе.

Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом, опустив голову, крепко о чем-то задумался. Феня с замиравшим сердцем ждала, что он ей ответит, и со страхом смотрела на эту красивую старческой сановитой красотой голову. Поправив спустившиеся на глаза волосы, Гордей Евстратыч вздохнул как-то всей своей могучей грудью и, не глядя на Феню, заговорил таким тихим голосом, точно он сам боялся теперь своей собеседницы. В первую минуту Фене показалось, что это говорит совсем не Гордей Евстратыч, а кто другой.

— Хорошее ты мне слово сказала, Феня... от сердца сказала. Чувствую я это, даже очень чувствую... И сам об этом, может, не одну сотню раз подумал. Да... Только вот ты-то как сказала мне, так я и вижу все, как на ладонке, что и где неладно... Эх, Феня, Феня!.. Сам вижу свои-то неполадки, ну, да оно уж одно к одному все пусть... Ты вот со стороны-то глядишь на нас да и думаешь про себя: дескать, с жиру

старики-то бесятся. Так. А ты разбери-ка... Оно совсем другая статья выходит. Оно, видишь ли, и раньше в семье-то у нас сучки да задоринки выходили, тоже взять хоть этих Савиных да Колобовых. Гордо они держали себя против нас, в том роде, как благодетели какие... Ну, я это переносил, никому ни слова. А как подвернулась эта самая жилка, оно все и выплыло наверх, как масло на воде. Видишь, куда оно погнуло-то... Да!.. Это тебе раз. Об Алешке Пазухине вторая статья подошла... Тут уж, напрямки сказать, золото нас разделило, хоть Алешка парень и подходящий бы, и семья ихняя тоже. Пожалел я Нюшу отдать за него, думал жениха лучше ей найти... Так ведь? Не выродок ведь Нюшка-то моя, не недоносок какой, да и одна дочка у родимого батюшки... А из этого вон оно что выросло-то: девка на глазах моих чахнет.

После короткой паузы Гордей Евстратыч провел по лбу рукой, точно стирая какую-то постороннюю мысль, которая мешала ему вполне ясно высказаться, а потом продолжал:

— Я тебе начистоту все скажу, Феня... За то тебе скажу, что душа у тебя добрая. Люблю...

Да... Так вот обзатылил я Пазухиных, Зотушку прогнал от себя. Это уж моя вина: с сердца сорвалось у меня. После-то сам гляжу я на себя и дивлюсь: зачем я это родного брата из родительского дома выгнал?.. А тут родная дочь на глазах зачала сохнуть. Легко мне это, по-твоему? Своя-то кровь всегда скажется... она проймет... Разве я ослеп? Нет, голубушка, все видел я и все на сердце держал, да только поделать ничего не мог... Не раз и не два думал я помириться со всеми, как вот с твоим тятенькой помирился, так поди же ты — руки не подымались! Даже слов таких у меня точно не было на языке, чтобы на мировую пойти... А тут еще новые дружки да приятели, им надо тоже большое спасибо сказать. Зачал я закруживаться совсем, и все мне тяжелее да тяжелее, потому старые-то дружки все отшатились, а новых не нажил. Ведь новые-то благоприятели к золоту нашему льнут — видим и это... Хорошо. Только и начал я думать, пошто, да как, да зачем. Жили беднее — было лучше в дому, а с богатством пошла какая-то разнота да сумятица. Может, слышала, как Михалко-то жену свою колотил? Вот оно куда

пошло... вижу — дело дрянь, и чем дальше, тем оно хуже. С богатством-то соблазн везде, грех... Водкой я начал зашибать в хорошей компании и всякое прочее. Тебе, девушке, это негоже все знать... Так, к слову пришлось... Ну, я и надумал наконец... то есть не сам даже надумал, а вроде как осенило меня. Уж старостой я был... Стою я за своим прилавком, продаю свечи, а сам в уме держу свои-то неполадки, как и что. Даже так горько мне стало... А тут я сразу все до корня постиг.

Гордей Евстратыч тяжело перевел дух и еще раз обвел глазами комнату Фени, точно отыскивая в ее обстановке необходимое подкрепление. Девушка больше не боялась этого гордого старика, который так просто и душевно рассказывал ей все, что лежало у него на душе. Ее молодому самолюбию льстило особенно то, что этакий человек, настоящий большой человек, точно советуется с ней, как с бабушкой Татьяной.

— Ну, так я сразу всю причину и нашел, — продолжал Гордей Евстратыч, соображая что-то про себя. — Я уж тебе все до конца доскажу...

— А я знаю, какая причина.

— Какая?

— Золото...

— Нет... Тут совсем особенная статья выходит: не хватает у нас в дому чего-то, от этого и все неполадки. Раньше-то я не замечал, а тут и заметил... Все как шальные бродим по дому и друг дружку не понимаем да добрых людей смешим. У меня раз пружина в часах лопнула: пошуршала-пошуршала и стала, значит, конец всему делу... Так и у нас... Не догадываешься?

— Нет...

— Ну, так я попрямее тебе скажу: жены Гордею Евстратычу недостает!.. Кабы была у него молодая жена, все шло бы как по маслу... Я и невесту себе присмотрел, только вот с тобой все хотел переговорить. Все сумлевался: может, думаю, стар для нее покажусь... А уж как она мне по сердцу пришлась!.. Эх, на руках бы ее носил... озолотил бы... В шелку да в бархате стал бы водить.

Феня инстинктивно поднялась с места; она совсем не ожидала такого оборота разговора и почуяла что-то недоброе. Гордей Евстратыч

тоже поднялся. Лицо у него было бледное, а глаза так и горели.

— Феня, выходи за меня замуж... все будет по-твоему... — глухо прошептал он, делая шаг к ней.

— Гордей Евстратыч... Господь с вами... опомнитесь.

— Я?.. Нет, поздно немножко... Феня, все для тебя сделаю... и помирюсь со всеми, и Нюшу за Алешку отдам, только выходи за меня... Люба ты мне, к самому сердцу пришлась...

— Гордей Евстратыч... в уме ли вы?..

— Ласточка моя, в уме... Ты всех нас спасешь, всех до единого, а то весь дом врозь расползется. Старик я... не люб тебе, да ведь молодость да красота до время, а сердце навек.

— Не пригоже мне, Гордей Евстратыч, такие ваши речи выслушивать...

Вместо ответа, Брагин схватил девушку и поднял кверху как перышко, а потом припал к ней своей большой седевшей головой, которая вся горела как в огне.

— Я закричу... пустите... — шептала Феня, освобождаясь из давивших ее железных объятий. — Я сейчас все бабушке Татьяне расска-

жу... все...

Она рванулась к дверям, но Гордей Евстратыч, ухватившись за ее платье, на коленях пополз за ней. Лицо у него было даже страшно в настоящую минуту, столько в нем стояло безысходной муки, отчаяния и мольбы:

— Ради бога... Феня... одну минуточку...

Девушка в нерешительности остановилась, хотя у самой глаза были полны слез: она еще чувствовала на себе прикосновение его головы.

— Феня... пожалей старика, который ползает перед тобой на коленях... — молил Гордей Евстратыч страстным задыхавшимся шепотом, хватая себя за горло, точно его что душило. — Погоди... не говори никому ни слова... Не хотел тебя обижать, Феня... прости старика!

Эта патетическая сцена была прервана шагами в соседней комнате: Алена Евстратьевна отыскивала хозяйку по всем комнатам. На правах женщины она прямо вошла в комнату Фени и застала как раз тот момент, когда Гордей Евстратыч поднимался с полу. Феня закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Что с тобой, Феня? — с участием спрашивала Алена Евстратьевна, делая вид, что ничего не заметила.

— Ах, оставьте меня... все оставьте... — шептала девушка, глухо рыдая.

Между братом и сестрой произошла выразительная немая сцена: Гордей Евстратыч стоял с опущенной головой, а модница улыбалась двусмысленной улыбкой: дескать, что уши-то развесил, разве не видишь, что девка ломается просто для порядку.

— Не надо было больно круто наступать-то на нее для первого разу... — выговаривала Алена Евстратьевна, когда Феня убежала от них. — Этак все дело можно извести!

Гордей Евстратыч, вместо ответа, только бессильно махнул рукой: руки и ноги у него дрожали, а в голове точно работала целая кузница — так стучала в жилах расходившаяся стариковская кровь.

Глава 16

«Глас девственницы» привел к такому результату, какого ни о. Крискент, ни Татьяна Власьевна совсем уж не ожидали. Они только теперь сообразили всю нелепость своего предприятия, а также и то, что все это могли и даже должны были предвидеть.

— Нет, я-то как затмилась... — с тоской повторяла про себя Татьяна Власьевна, когда Феня рассказала ей все начисто, ничего не утаив. — Где у меня глаза-то раньше были? И хоть бы даже раз подумала про Гордея Евстратыча, чтобы он отколол такую штуку... Вот тебе и стишал!.. Он вон какие узоры придумал... Ах, грехи, грехи!.. У самого внучки давно, а он — жениться...

По лицу «мамыньки» Гордей Евстратыч видел, что ей известно решительно все, и даже потемнел от злости. Так он ходил дня три, а потом взял да и угнал с золотом в город. Между ним и бабушкой Татьяной не было сказано ни единого слова, точно их разделила раздавшаяся под ногами пропасть. С неожиданно налетевшего горя Татьяна Власьевна

слегла в постель и крепко разнемоглась; крепка была старуха, точно сколоченная, а тут не выдержала. Она походила теперь на контуженого человека, который сгоряча не может хорошенько сообразить настоящую величину разразившейся грозы. Лечилась она, конечно, своими домашними средствами и слышать не хотела о докторе. На сцену появились разные мази, настои на травах, коренья, святая крещенская вода и т. д. Из домашних больная позволяла ухаживать за собой только одной Нюше; у невесток своей работы было довольно, а модницу Алену Евстратьевну старуха даже на глаза не пускала.

— Что это бабушка так огорчилась? — соображала про себя Нюша; она была не прочь иметь такую мачеху, как Феня.

Феня была в брагинском доме всего только раз, когда все рассказала Татьяне Власьевне, и больше не показывалась: ей было стыдно и Нюши, и невесток, точно она сама была виновата во всем. Зато Алена Евстратьевна не дремала, а повела правильную осаду по всем правилам искусства настоящих записных свах. Она редкий день пропускала, чтобы не

побывать у Пятовых. Приедет и рассядется с своими бесконечными разговорами. Глядя на нее, Феня часто удивлялась, какие на свете «бесстыжие» люди бывают, а модница точно не замечала внушаемого своей особой отвращения и разливалась река рекой. Сначала она вела все посторонние речи, ни одним словом не обмолвившись о случившемся, потом принялась вздыхать и жалеть огорченную девушку, которую так напугал братец.

— Велика беда... — говорила модница в утешение Фене. — Ведь ты не связана! Силком тебя никто не выдает... Братец тогда навеселе были, ну и ты тоже завела его к себе в спальню с разговорами, а братец хоть и старик, а еще за молодого ответит. Вон в нем как кровь-то заходила... Молодому-то еще далеко до него!.. Эти мужчины пребедовые, им только чуточку позволь... Они всегда нашей женской слабостью пользуются. Ну, о чем же ты кручинишься-то? Было да сплыло, и весь сказ...

— Совестно, Алена Евстратьевна... Зачем он тогда схватил меня на руки?.. Разве я какая-нибудь, чтобы так меня обижать...

— Ах, какая ты, Феня, непонятная... Братец совсем ума решились, а ты — «зачем схватил?»... Может, он руки на себя теперь готов наложить. Тоже ведь не деревянный. А вот я тебе лучше расскажу про нашего верхотурского купца Чуктонова. Это недавно было. Видишь, был этот Чуктонов один сын у отца, богатый, молодой, красавец. Хорошо. А в Верхотурье жил один чиновник Коробкин, а у Коробкина была дочь Наталья. Одна всего дочь, как зеница в глазу. Только к этой Наташе и присватывался один богатый старик, то есть он еще не старик, человек еще в поре, ну а в годках. Хорошо. Известно, девичье дело, Наташа даже и обиделась, как это он посмел такие мысли к ней иметь, а отец-то Коробкин даже неприятность сделал старику. Так это дело и рассохлось, а к Наташе присватался Чуктонов, она за него и выскочила. Глупый девичий разум: радуется Наташа, что нашла мужа молодого, да красивого, да развертного. Только радость-то больно недолгая была... Наша бабья красота короче воробьиного носа: на первом же ребенке Чуктонов-то и разлюбил жену. Ну, обыкновенно, детки не красят мате-

ри. Сначала-то по любви все было, а потом пошло уж другое. Муж на других молодых стал заглядывать, а жена его ревновать. И пошло, и пошло... Мало-за-мало начал Чуктонов жену колотить да еще любовницу себе завел. Из синяков бабенка не выходит, а муж гуляет да ее же тиранит. И как он ее тиранил — истинно страсти Господни!.. Возьмет, раздене нет донага, привяжет назади руки к ногам, а сам нагайкой ее и полосует, пока руку не вымахает... А то заложит лошадь, привяжет жену к оглобле да на паре по всему городу и катается. Так до самой до смерти ее затиранил... А другая-то девушка, которая вышла за старика, живет себе да как сыр в масле катается.

— Не все же такие, Алена Евстратьевна, как этот ваш Чуктонов, — возражала Феня. — Это какой-то зверь, а не человек.

— Я и не говорю, что все такие, а только к слову пришлось: всякие бывают и молодые мужья... А муж постарше совсем уж другое: он уж не надышится на жену, на руках ее носит. Оно и спокойнее, и куда лучше, хоть ты как поверни. Вон мамынька тоже за старого мужа выходила, а разве хуже других прожила?

Прежде совсем не спрашивали девок, за кого замуж отдают, да жили не хуже нашего-то...

Все эти доводы и увещания были слишком избиты, чтобы убедить кого-нибудь, и Алена Евстратьевна переходила в другой тон: она начинала расхваливать братца Гордея Евстратыча, как только умела, а потом разливалась в жалобах на неполадки в брагинском дому — как рассорились снохи из-за подарков Гордея Евстратыча, как балуются ребята на прииске, хотя Татьяна Власьевна и стоит за них горой; как сохнет и тает Нюша; как все отступились от брагинской семьи. В общем, модница повторяла то же, что высказал Гордей Евстратыч, но она умела все это расцветить своей специально бабьей логикой и в этой форме сделала доступным неопытному уму Фени. Мало-помалу, против собственной воли, и девушка стала вникать в смысл этих предательских слов, и ей все дело начало казаться совсем в ином свете, а главное: Гордей Евстратыч являлся совсем не тем, чем она его представляла себе раньше. Это был еще полный сил и энергии старик, который желал спасти семью от грозившего ей разрушения

и помощницей себе выбрал ее, Феню. Такой брак был почти богоугодным делом, потому что от него зависела участь и счастье стольких людей. Феня душой любила всю брагинскую семью; сердце у ней было действительно доброе, хорошее, жаждавшее привязанности, а теперь ей представлялась такая возможность осчастливить десятки людей. Алена Евстратьевна слишком хорошо поняла Феню и именно с этой слабой стороны вела свою атаку последовательно и неутомимо, как какой-нибудь стратег, осаждающий неприступную крепость. Как Феня ни крепилась, но заметно поддавалась на «прелестные речи» своего неотступного искусителя и даже плакала по ночам от сознания своего бессилия и неопытности. Ей не с кем было посоветоваться, кругом были все чужие люди, а бабушки Татьяны она как-то начинала бояться. Эта внутренняя работа смущалась особенно тем фактом, что в среде знакомых было несколько таких неравных браков и никто не находил в этом чего-нибудь нехорошего: про специально раскольничий мир, державшийся старозаветных уставов, и говорить нече-

го — там сплошь и рядом шестнадцатилетние девушки выходили за шестидесятилетних стариков.

— Бабушка Татьяна мне прямо тогда сказала, что она меня не благословляет... — пускала Феня в ход свой последний, самый сильный аргумент. — А я против ее воли не могу идти, потому что считаю бабушку Татьяну второй матерью. Она худу не научит, Алена Евстратьевна. Недаром она вон как разнемоглась с горя... Нет, нет, и не говорите лучше. Я и слышать ничего не хочу!

— Видишь, Феня, о бабушке Татьяне своя речь... Бабушке-то Татьяне на восьмой десяток перевалило, вот она и судит обо всех по-своему. Конечно, ей настоящую сноху в дом не расчет пускать. Она теперь в дому-то сама большая — сама маленькая: как хочет, так всеми и поворачивает. Внучатные-то снохи пикнуть не смеют, а женись Гордей Евстратыч, тогда другие бы порядки пошли... Уж это верно!.. Старуха просто боится, а ты ее слушаешь. Спроси-ка у снох да у Нюши, желают они тебя мачехой своей величать? То-то вот и есть!.. Совсем другой разговор выходит... То

же и про ребят скажу, про Михалка да про Архипа... Да чего лучше, спроси их сама.

— С чего это вы взяли, Алена Евстратьевна, что я стану спрашивать их о таких глупостях? — обижалась Феня.

— В том-то и дело, что не глупости, Феня... Ты теперь только то посуди, что в брагинском доме в этот год делалось, а потом-то что будет? Дальше-то и подумать страшно... Легко тебе будет смотреть, как брагинская семья будет делиться: старики врозь, сыновья врозь, снохи врозь. Нюшу столкают с рук за первого прощелыгу. Не они первые, не они последние. Думаешь, даром Гордей-то Евстратыч за тобой на коленях ползал да слезами обливался? Я ведь все видела тогда... Не бери на свою душу греха!..

— Почему же непременно я, а не другая? Разве мало стало невест Гордею Евстратычу по другим заводам или в городу... Он теперь богатый, любая с радостью пойдет.

— Вот и проговорилась... Любая пойдет, да еще с радостью, а Гордей Евстратыч никого не возьмет, потому что все эти любые-то на его золото будут льститься. А тебя-то он сыз-

мальства знает, знает, что не за золото замуж будешь выходить... Добрая, говорит, Феня-то, как ангел, ей-богу...

В самый разгар этих переговоров приехал из города сам Гордей Евстратыч и круто повернул все дело. По совету Алены Евстратьевны он прежде всего завербовал на свою сторону податливого о. Крискента. Как он его обошел — трудно сказать, но только в одно прекрасное утро о. Крискент заявился в пятовский дом, когда не было самого Нила Поликарпыча, и повел душеспасительную речь о значении и святости брака вообще как таинства, потом о браке как неизбежной форме нескверного гражданского жития и, наконец, о браке как христианском подвиге, в котором человек меньше всего должен думать о себе, а только о своем ближнем. Против этого противника Феня защищалась еще слабее, чем против Алены Евстратьевны, потому что о. Крискент не такой был человек, чтобы болтать зря. Притом та Божественная форма, в которую он облекал свою беседу, уснащая ее текстами Священного Писания и примером из жития святых, совершенно обезоружива-

ла Феню, так что она могла только плакать украдкой. Девушка получила религиозное воспитание, — увещание о. Крискента производило на нее подавляющее впечатление.

— Необходимо присовокупить еще следующее, — говорил о. Крискент, расстегивая и застегивая пуговицы своего подрясника. — Кто есть истинный раб Христов? Неусумнительно, тот, который несет крест... Все мы должны нести крест. А твой крест, дитя мое, заключается в том, чтобы спасти не только целую семью, но еще через сокровища своего будущего супруга преизбыточно делать добрые дела многим другим людям... Может быть, через тебя возрадуются десятки сирых, вдовиц и убогих. Умягчая сердце своего супруга, ты научишь его благодетельному расточению сокровищ... Это будет христианский подвиг, и он тебе зачтется там, на небеси, где — ни старых, ни молодых, ни богатых, ни убогих. Молодость быстротечна, как вся жизнь; нужно заботиться о будущем, прозирать в загробную жизнь.

— Батюшка, я боюсь... — откровенно признавалась Феня со слезами на глазах.

— Хороших дел не нужно бояться... Ты смотришь на брак с земными мыслями, забывая, что в этом мире мы временные гости, как путники в придорожной гостинице.

— А бабушка Татьяна, отец Крискент? Она меня проклянет...

— Татьяна Власьевна, конечно, весьма благомысленная и благоугодная женщина, но она все-таки человек, и каждый человек в состоянии заблуждаться, особенно когда дело слишком близко затрогивает нас... Она смотрит земными очами, как человек, который не думает о завтрашнем дне. Старушка уже в преклонном возрасте, не сегодня завтра призовется к суду Божию, тогда что будет? С своей стороны, я не осуждаю ее нисколько, даже согласен с ней, но нужно прозирать в самую глубину вещей.

Эти переговоры настолько утомили и расстроили Феню, что она побледнела и ходила с опухшими глазами от слез. В ее голове все мысли путались, как спущенные с клубка нитки; бессонные ночи и слезы привели ее в такое состояние, что она готова была согласиться на все, только оставили бы ее в покое.

Даже Зотушки около нее не было; он пьянствовал опять, справляя «предпразднество», как перед Рождеством справлял предпразднество. Нил Поликарпыч точно не замечал ничего и появлялся в доме только к обеду и ужину; у него всегда было много дела и хлопот по заводу, чтобы еще замечать, что делается дома; притом он постоянно лечился и составлял какие-то мази и декокты. Да и вообще отцы, как обманутые мужья, последними замечают то, что уже видят все другие люди. Около Фени не было любящей женской руки, которая разделила бы с ней ее тревоги и огорчения. Если бы была жива мать Фени, тогда, конечно, совсем другое дело; но Феня выросла сиротой и никогда так не чувствовала своего сиротства, как именно теперь, когда решала такой важный шаг.

Когда таким образом Феня оказалась достаточно подготовленной, Алена Евстратьевна приказала братцу Гордею Евстратычу объясниться с ней самому. Девушка ждала этого визита и со страхом думала о том, что она скажет Гордею Евстратычу. Он пришел к ней бледный, но спокойный и важный, как все-

гда. Извинившись за старое, он повел степенную и обстоятельную речь, хотя к сказанному уже Аленой Евстратьевной и о. Крискентом трудно было прибавить что-нибудь новое.

— Все для тебя сделаю, Феня, — повторял он несколько раз с особенной настойчивостью, — а без тебя пропасть мне только... Уж я знаю!.. Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика глаза разгорелись на твою молодость да на твою красу, — ведь думаешь? А разве бы я не нашел, окромя тебя, ежели бы захотел?.. Ты вот это и рассуди... А без тебя мне капут, как Бог свят. Потому какая жисть наша, ежели разобрать: пьянство, безобразие... В том роде, как у Вукола Шабалина. Разве это порядок? Лучше уж разом покончить с собой, чем этак-то наматывать на шею смертные грехи...

Феня слушала его с опущенными глазами, строгая и бледная, как мученица. Только ее соболиные брови вздрагивали да высоко поднималась белая лебяжья грудь. Гордей Евстратыч не видал ее краше и теперь впивался глазами в каждое движение, отдававшееся в нем режущей болью. Она владела всеми его

чувствами, и в этой крепкой железной натуре ходенем ходила разгоравшаяся страсть.

— Может, ты сумлеваешься насчет тятеньки? — спрашивал Гордей Евстратыч, стараясь по-своему объяснить раздумье Фени. — Так он не пойдет супротив нас... Мы с ним старинные друзья-приятели... Эх, Феня, Феня!.. За одно твое словечко, всего за одно, да я бы, кажется, весь Белоглинский завод вверх ногами повернул... Ей-богу... Птичьего молока добуду, только скажи... а?.. А уж как бы я тебя баловал да миловал... Э-эх!..

— Гордей Евстратыч, ради бога, повремените немного... Дайте мне с мыслями собраться, а то я ровно ничего не понимаю...

— Значит, можно надеяться? Да?.. Скажи-ка, Феня, как это ты выразила-то?

— Нет... я ничего... — испуганно залепетала девушка. — Я сказала только, что дайте мне с мыслями собраться...

— Ну-ну... Вот это самое!.. Ах ты, касаточка... голубушка!.. А я тебе гостинца из города на всякий случай захватил. Это за старое должок...

Брагин подал закрытую коробку, но Феня

обеими руками отодвинула ее от себя, точно этот подарок мог обжечь ее.

— Да ты посмотри... а?.. А то сейчас за окошко выкину: никому не доставайся!.. Для тебя припасено — тебе и владеть.

Чтобы вывести девушку из затруднения, Брагин сам раскрыл коробку: внутри на бархатной подушечке жарко горели три изумруда, точно бобы, осыпанные настоящими бриллиантами. Это был целый прибор из броши и серег. Подарок, однако, не произвел надлежащего действия, а только заставил Феню покраснеть, точно эта коробка была отнята для нее у кого-то другого.

— Дайте подумать, Гордей Евстратыч... — шептала она, не имея сил сопротивляться.

— Ну, думай, думай... Только по-хорошему думай! Да вот этот гостинец для начала прими, с ним легче, может, будет думать-то...

— Напрасно вы, Гордей Евстратыч, беспокоились...

— Напрасно?..

Брагин порывисто схватил коробку с гостинцем и побежал к форточке.

— Гордей Евстратыч... постойте!.. — оста-

новила его Феня, когда он занес уже руку, чтобы выкинуть гостинец на улицу.

Татьяна Власьевна все еще была больна. По лицу модницы она замечала, что опять что-то затевается, но что — она не знала хорошенько. Нюша находилась неотлучно при больной и тоже не могла ничего знать; невестки отмалчивались, хотя, вероятно, и слышали что-нибудь из пятого в десятое. Ариша знала больше всех, но молчала про себя; в душе она желала, чтобы Гордей Евстратыч женился на Фене, потому что она как-то инстинктивно начинала бояться свекра, особенно когда он так ласково смотрел на нее. Она хорошо помнила, как он обнял и поцеловал ее перед своим отъездом в ярмарку.

— Что это Феня-то не идет проведать? — несколько раз спрашивала Татьяна Власьевна. — Тоже и отец Крискент глаз не кажет... Совсем забыли старуху!

— У Фени, бабушка, горло болит... — лгала Нюша, чтобы успокоить больную, которая делала вид, что верит этому...

— Долго ли простудиться?.. Ох-хо-хо...

Однажды под вечер, когда Татьяна Вла-

сьевна в постели пила чай, а Нюша сидела около нее на низенькой скамеечке, в комнату вошел Гордей Евстратыч. Взглянув на лицо сына, старуха выпустила из рук блюдечко и облилась горячим чаем; она почувствовала разом, что «милушка» не с добром к ней пришел. И вид у него был какой-то такой совсем особенный... Во время болезни Гордей Евстратыч заходил проведать больную мать раза два, и то на минуту. Нюша догадалась, что она здесь лишняя, и вышла.

— Ну как, мамынька, твое здоровье? — спросил неровным голосом Гордей Евстратыч, перебирая пальцами борт своего сюртука.

— Неможется все, милушка... залежалась я что-то.

— Вставать надо, мамынька...

Пауза. И сыну, и матери одинаково тяжело; они стараются не смотреть друг на друга.

— Мамынька, я пришел к тебе за благословеньем: жениться хочу... — с искусственной твердостью проговорил Гордей Евстратыч.

Эта фраза точно ужалила больную. Она поднялась с подушки и быстро села на посте-

ли: от этого движения платок на голове сбился в сторону и жидкие седые волосы рассыпались по плечам. Татьяна Власьевна была просто страшна в эту минуту: искаженное морщинистое лицо все тряслось, глаза блуждали, губы перекосились.

— Как... ты сказал, Гордей?

— Жениться хочу, мамынька...

— В добрый час... На ком же это, милушка?

— На Фене...

Старуха глухо застонала и упала в подушки; с ней сделалось дурно, и глаза закрылись, как у мертвой.

— Мамынька...

— Милушка... нельзя... не могу...

— Мамынька, все уж дело слажено... Мы с Нилом Поликарпычем и по рукам ударили.

— Не мм... нет тебе моего благословения... не мм...

— Я пошлю отца Крискента к тебе. Пусть он с тобой договорит...

— Зачем отца Крискента?

— Так... Ведь он уговаривал Феню, ну и тебя уговорит. Я не таюсь ни от кого, мамынька...

— Так ты вот как, милушка... не спросясь матери... Нет, это не ты придумал... нет... это та... змея подколодная устроила... Алена всех смутила... и отца Крискента она же подвела, змея...

— Это уж все равно, мамынька... Дело сделано. Я насчет твоего благословенья пришел...

— Не могу...

Гордей Евстратыч замолчал, подавляя душившую его злобу. Он боялся наговорить лишнего, надеясь уломать старуху более мирным путем. Начинать свадьбу ссорой с матерью все-таки было неудобно...

— Как знаешь, мамынька... — проговорил он, едва сдерживаясь. — Только ведь мы и так обвенчаемся, ежели ты будешь препятствовать. Так и знай... Я к тебе еще зайду.

— И на глаза лучше не показывайся...

Когда Нюша вошла в комнату, она даже вскрикнула от страха: Татьяна Власьевна лежала как пласт, и только страшно горевшие глаза говорили о тех страшных муках, какие она переживала.

— Бабушка!.. Господи, что же это такое? —

заплакала девушка, бросаясь к постели. — Бабушка... милая...

— Нюша... О! змея, змея, змея...

— Бабушка... Христос с тобой!

— Тетка Алена змея... Нюша, голубушка... сейчас же беги к Пятовым... и чтобы непременно Феня была здесь... Слышишь?.. Да чтобы сейчас же... а если... если... она не захочет... я сама к ней приползу... Слышишь?.. Нюша, ради Христа, скорее!.. Ох, Аленка, змея подколодная!.. Нюша, скорее... в чем есть, в том и беги...

Накинув свою заячью шубейку, Нюша пешком побежала в пятовский дом. Через полчаса она вернулась вместе с Феней, которая шла за ней, пошатываясь, как после тяжелой болезни.

— Ну, теперь ты оставь нас одних, — проговорила Татьяна Власьевна Нюше, когда девушки вошли в ее комнату. — Феня, голубка моя, садись вот сюда... ближе... Плохо слышу... ох, смерть моя...

Девушка опустилась на низенькую деревянную скамеечку-подножку, на которой обыкновенно сидела Нюша, и, закрыв лицо

руками, тихо плакала.

— Рассказывай все... все, как было... — глухо шептала Татьяна Власьевна, делая усилие подняться на своей подушке и опять падая на нее. — Нет... не надо... я знаю все... змея Аленка... она, она, она... Ох, Господи Исусе Христе! Феня, голубка, лучше я... сама тебе все расскажу... все... как на духу...

Не утаивая ничего, с рыданиями, бабушка Татьяна рассказала Фене про свой страшный грех с дедушкой Поликарпом Семенычем, а также и про Зотушку, который приходится Фене родным дядей.

— Мой грех, мой ответ... — хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. — Всю жисть его не могу замолить... нет спокою моей душеньке нигде... Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не губи себя... Феня, голубка, прости меня многогрешную... Нет, пред образом мне поклянись... пред образом... затепли свечку... а то собьют тебя... Аленка собьет с пути... она и отца Крискента сбила, и всех...

Через минуту перед старинным образом Нерукотворного Спаса теплилась свеча, и Фе-

ня тряслась всем телом и повторяла за бабушкой Татьяной слова клятвы, что никогда, даже после смерти рабы Божией Татьяны, она, девица Федосья, не выйдет за раба Божия Гордея.

Глава 17

Отказ Фени привел Гордея Евстратыча в настоящее бешенство. Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Власьевну, но Гордей Евстратыч был убежден, что это именно мать расстроила все дело. Он несколько раз наступал на Татьяну Власьевну с угрозами и проклятьями, но старуха покорно отмалчивалась; убитый Гордей Евстратыч иногда принимался умолять ее на коленях, со слезами на глазах, но старуха оставалась по-прежнему непреклонна. Раз, вернувшись пьяный от Шабалина, он бросился на мать с кулаками, и только Нюша спасла бабушку от дикого насилия. Произошла страшная сцена, заставившая оцепенеть весь дом. Татьяна Власьевна, собственно, не должна была бы вынести всех этих испытаний, которые валились на ее седую голову одно за

другим, но она, наперекор всему, быстро начала поправляться, точно в это семидесятилетнее дряхлое тело были вдохнуты новая жизнь и сила, которая живила и укрепляла его; наоборот, Феня слегла в постель и разнемогалась с каждым днем все сильнее. Когда бабушка наконец встала с постели — это был совсем другой человек, в котором нельзя было узнать прежней Татьяны Власьевны. Гордей Евстратыч успел в это время немного опомниться и пришел к матери с повинной.

— Прости, мамынька... — умолял он, валяясь у старухи в ногах.

— Бог тебя простит, а я еще подумаю, — отвечала Татьяна Власьевна. — Ты меня хотел убить, Гордей Евстратыч, да Господь не допустил тебя. Знаю, кто тебя наущал... все знаю. И вот мой сказ тебе: чтобы Алены Евстратьевны и духу не было и чтобы напредки она носу сюда не смела показывать...

— Мамынька, как же я буду выгонять сестрицу?..

— Умел принимать, умей и выгнать... Не велико кушанье!.. А ежели не выгонишь, сию же минуту уйду из дому и прокляну вас обо-

их... По миру пойду на старости лет!

Вся высохшая, с побелевшим восковым лицом и страшно горевшими глазами, Татьяна Власьевна походила на одну из тех подвижниц, каких рисуют на старинных образах. Прежней мягкости и податливости в ней не было больше и следа; она смотрела гордой и неприступной. И раньше редко улыбавшиеся губы теперь сложились сурово, как у схимницы; это высохшее и изможденное лицо потеряло способность улыбаться. Даже Нюша и та боялась грозной старухи.

— Я всех вас распустила... везде непорядки... — говорила Татьяна Власьевна сыну. — А теперь будет не так, Гордей Евстратыч...

— Мамынька, да ведь я хозяин дому, — возражал иногда Гордей Евстратыч.

— Какой ты хозяин!.. Брата выгнал и меня хотел пустить по миру... Нет, Гордей Евстратыч, хозяйка здесь я. Ты налаживай свой дом, да в нем и хозяйничай, а этот дом батюшкин... И отцу Крискенту закажи, чтобы он тоже не ходил к нам. Вы с ним меня живую бы закопали в землю... Дескать, пущай только старуха умрет, тогда мы все по-своему повер-

нем.

Обиженная и огорченная Алена Евстратьевна принуждена была на скорую руку сложить свои модные наряды в чемоданы и отправиться в Верхотурье, обозвав братца на прощанье дураком. Старуха не хотела даже проститься с ней. Отец Крискент проникновенно понял то, что Гордей Евстратыч боялся высказать ему прямо, и, с своей обычной прозорливостью, сам не заглядывал больше в брагинский дом.

Зотушка опять вернулся к Пятовым: как только Феня слегла, так он и заявился, бледный, худой, с трясущимися руками, но с таким же кротким и любящим сердцем и почти женской мягкостью в характере. Теперь Феня была рада ему вдвойне: это был не чужой человек, хотя Зотушка и сам этого не подозревал. Болезнь девушки, сначала неопределенного характера, вдруг резко перешла в нервную горячку: молодая натура не выдержала всех испытаний и теперь жестоко боролась с тяжелым недугом. Зотушка ходил за больной как сиделка, и больная инстинктивно искала его руки, когда нужно было переменить ме-

сто на подушке или приподнять голову; никто не умел так угодить ей, как Зотушка. Она из его рук принимала и лекарство, которое прописывал привезенный из города доктор.

«Замучили девку, замучили...» — думал Зотушка, когда сидел длинную зимнюю ночь в комнате Фени, где теперь все было пропитано запахом лекарств.

Больная не могла лежать спокойно и часто металась, придавленная нестерпимым гнетом. В горячечном бреду она все умаливала кого-то погодить, потом начинала громко молиться и повторяла обрывки произнесенной клятвы. Эта пестрая путаница недавних впечатлений проходила чрез ее воспаленный мозг с мучительной болью, заставляя с новой силой пережить тысячи раз все вынесенные испытания. Мысль работала с лихорадочной торопливостью; призраки и фантастические представления нарастали, переплетались и заканчивались страшными галлюцинациями. Главным образом девушка страдала от неотступного преследования трех людей, являвшихся ей в тысяче всевозможных превращений, — это были Гордей Евстратыч, бабуш-

ка Татьяна и дедушка Поликарп Семеныч. Они не отходили от Фениной кровати и мучили ее своим постоянным присутствием, как тяжелый кошмар. Старая, старая, страшная бабушка Татьяна особенно пугала больную. Феня даже вскрикивала каждый раз, когда грозный призрак наклонялся к ней и холодными костлявыми руками чего-то искал в ее мозгу... «Бабушка, оставь меня!» — кричала больная, открывая глаза: но перед ней вместо бабушки стоял уже Гордей Евстратыч, весь золотой — с золотым лицом, с золотыми руками, с сверкавшими золотыми глазами. Он даже дышал какой-то золотой пылью, которая наполняла всю комнату и от которой Феня начинала задыхаться. Это золото жгло ее, давило, а Гордей Евстратыч ползал около кровати и плакал золотыми слезами. Больная видела себя уже женой этого золотого Гордея Евстратыча и сама постепенно превращалась тоже в золотую: и руки и ноги у ней были настоящие золотые и такие тяжелые, что она не могла ими пошевелить. Налитые золотом веки не поднимались; даже мысли в голове были золотые и шевелились в мозгу золотыми

цепочками, кольцами, браслетами и серьгами — все это звенело и переливалось, как живая чешуя. Опять крик, опять новые грезы; но теперь бабушка Татьяна и Гордей Евстратыч сменялись худеньким дедушкой Поликарпом Семенычем, который все искал Зотушку; а Феня прятала его то у себя под подушкой, то в коробке с гостинцем Гордея Евстратыча.

Иногда к этим вполне определенным впечатлениям прибавлялось что-то новое, неясное и смутное, расплывавшееся, как туман; но Феня чувствовала присутствие этого неопределенного, потому что оно заставляло ее дрожать в лихорадке. Испытываемое ею ощущение можно сравнить с тем, какое переживает человек ночью в глухом лесу, когда знает, что опасность в двух шагах, но не может ее разглядеть. Сухие губы бабушки Татьяны в этих случаях шептали: «Феня, голубушка! Змея, змея, вон она!» И бабушка Татьяна дрожала и протягивала руки вперед, точно хотела защищаться от настоящей живой змеи, которая вот-вот живой петлей захлестнет ее. Это была Алена Евстратьевна, которую больная не видала, но слышала ее походку и

вкрадчивый голос.

— Зотушка... мне страшно... — шептала Феня, хватаясь за руку Зотушки. — Говори что-нибудь... спой. Ты никого не видишь?

— Нет, касаточка, никого не вижу... Христос с нами, ласточка...

— Ты не оставляй меня одну... Золото... везде золото...

Феня страстно прислушивалась к звукам Зотушкина голоса, стараясь на них сосредоточить все свое внимание и тем вырвать себя из фантастической области, где блуждала ее больная мысль. Она точно хваталась за стих Зотушки, чтобы не унестись опять в безбрежное море своих галлюцинаций. Но действительность переплеталась с грезами, а ее уносила темная волна вперед, в темную бездну, где ее снова окружали ее мучители. Прислушиваясь к бреду больной, Зотушка многого не понимал, особенно когда Феня начинала заговариваться о бабушке Татьяне и Поликарпе Семеныче. Какую связь имел этот Поликарп Семеныч со всем случившимся — для Зотушки оставалось загадкой. Только раз, когда Феня особенно сильно металась и бредила,

все дело разъяснилось: больная выболтала все, что сама знала о страшном грехе бабушки Татьяны и о самом Зотушке, называя его своим дядей. От этих речей Зотушку прошиб холодный пот, и пред его глазами запрыгала целая дюжина проворных бесенят, безобразно задиравших мышиные хвосты. Когда больная очнулась от своего забытья, она по лицу Зотушки угадала, что он знает тайну бабушки Татьяны; она закрыла глаза от охватившего ее ужаса.

— Что с тобой, касаточка? — спрашивал Зотушка.

— Что?.. Ты слышал?

— Слышал...

— Ну... так это правда... Все равно, я умру, Зотушка... по крайней мере не на чужих руках...

— Христос с нами, ласточка... Зачем помирать, еще поживем в свою долю.

— Нет, нет... я знаю... Зотушка, я не виновата.

Зотушка наклонился к руке Фени, и на эту горячую руку посыпались из его глаз крупные слезы... Вот почему он так любил эту ба-

рышню Феню и она тоже любила его!.. Вот почему он сердцем слышал сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что ей вместе с бабушкой Татьяной будут большие слезы... А Феню точно облегчило невольно сделанное признание. Она дольше обыкновенного осталась в сознании и ласкала своего дядю, как ушибившегося ребенка.

— А где Нюша? Что она не придет ко мне? — спрашивала больная.

— Она заходила не один раз, да ты-то все не узнавала ее...

— И бабушка Татьяна была?

— И бабушка была...

— Зотушка, держи меня... крепче держи...

Наступивший бред был сильнее прежнего; и Зотушка одно время совсем всполошился, думая, что барышня Феня отходит. Он побежал к Нилу Поликарповичу и приволок его за руку в комнату Фени. Старик Пятов иногда сменял Зотушку, когда тот уходил в кухню «додернуть» часик на горячей печке, а большею частью ходил из угла в угол в соседней комнате; он как-то совсем потерялся и плохо понимал, что происходило кругом. Страшная

мысль лишиться Фени нагоняла на него столбняк, и он только ощупывал свою плешивую голову, напрасно стараясь что-то припомнить. Иногда он принимался со слезами упрашивать доктора-старичка спасти его Феню и предлагал свою домашнюю аптеку. Доктор рассеянно выслушивал этот бред наяву, записывал что-то в своей карманной книжке и повторял: «Хорошо, хорошо. Скоро наступит кризис, тогда все выяснится...» Больная редко узнавала отца и старалась скрыть от отца свои страдания. Он так всегда любил ее, и она жалела его. Кто заменит ее больному старику? Кто будет предупреждать, как это делала она, его скромные желания и угождать его привычкам? Не один раз глаза Фени наполнялись слезами, когда она смотрела на отца: ей было жаль его больше, чем себя, потому что она слишком исстрадалась, чтобы чувствовать во всем объеме опасность, в какой находилась.

Гордей Евстратыч, пока разыгрывалась в пятовском доме эта тяжелая драма, после первого порыва отчаяния бросился в разгул и не выходил из шабалинского дома, где стоял

день и ночь пир горой. Вукол Логиныч посылал в город нарочно две кошевых, чтобы привезти подходящих гостей из «подходящей компании». Варвара Тихоновна угощала всех на славу, так что Липачек и Плинтусов не раз просыпались, к своему удивлению, в ее парадной спальне. Это безобразие нравилось Гордею Евстратычу, который хотел в вине утопить свое горе и пьяный принимался несколько раз плакать.

— Ну, горе не велико... — утешала Варвара Тихоновна. — Нашел о чем сокрушаться! Не стало этого добра... Все равно, женился бы на Фене, стала бы тебя она обманывать.

— Врешь!.. — кричал Гордей Евстратыч.

— А ты не очень кричи... Не у себя дома.

— Эх, Варвара Тихоновна, Варвара Тихоновна... разве ты можешь что-нибудь понимать?.. Ну, какое у тебя понятие? Ежели у меня сердце кровью обливается... обидели меня, а взять не с кого...

Порфир Порфирыч, конечно, был тут же и предлагал свои услуги Брагину: взять да увезти Феню и обвенчаться убегом. Этому мудреному человеку никак не могли растолковать,

что Феня лежит больная, и он только хлопал глазами, как зачумленное животное. Иногда Гордея Евстратыча начинало мучить самое злое настроение, особенно когда он вспоминал, что о его неудачном сватовстве теперь галдит весь Белоглинский завод и, наверно, радуются эти Савины и Колобовы, которые не хотят его признать законным церковным старостой.

Чтобы проветрить пьяную компанию, раза два ездили в кошевых на Смородинку, где устраивалось сугубое пьянство. Работы на прииске теперь было мало, и Михалко с Архипом пропадали со скуки; ребята от нечего делать развлекались по-своему, причем в Полдневской была устроена специальная квартира, которой заведовала Лапуха. Пестерь и Кайло сначала косились на такие порядки, но потом махнули рукой, потому что примиряющим элементом являлась водка. С другой стороны, эти блюстители патриархальных нравов жестоко поплатились за свою строгость: Окся навсегда сбежала не только из Полдневской, но и со Смородинки.

Однажды, когда пьяная компания только

что вернулась со Смородинки, Шабалина лакей вызвал в переднюю. Там смиренно стоял Зотушка.

— А, святая душа на костылях!.. — обрадовался Шабалин. — В самую линию попал... Иди в комнаты-то — чего тут торчишь? Я тебя такой наливкой угощу...

— Я не принимаю теперь этого составу, Вукол Логиныч... Мне бы братца, Гордея Евстратыча, повидать.

— Ну и пойди туда. Чего корячишься? — говорил Шабалин, подхватывая Зотушку под руку. — Вот я тебе покажу, как не принимаешь... Такой состав у меня есть, что рога в землю с двух рюмок.

— Ну уж ослобоните, Вукол Логиныч. Дельце есть до братца. Уж, пожалуйста, ослобоните.

— Ну черт с тобой!..

Когда Гордей Евстратыч, пошатываясь, вышел в переднюю, Зотушка смиренно поклонился братцу и дрогнувшим голосом проговорил:

— Вам, братец, Федосья Ниловна приказали долго жить...

— Что? Как? Умерла?

— Точно так... Они просили меня сказать вам, что заочно вас прощают и с вами, братец, тоже прощались.

Гордей Евстратыч зашатался на месте, оглянулся крутом и, как был, без шапки, выбежал из шабалинского вертепа. Зотушка смиренно поплелся за ним, торопливо откладывая широкие кресты.

Смерть Фени произвела потрясающее впечатление на всех, потому что эта безвременно погибшая молодая жизнь точно являлась какой-то жертвой искупления за те недоразумения, какие были созданы брагинской жилкой. Все на мгновение позабыли о своих личных счетах около гроба мертвой красавицы, за которым шел обезумевший от горя старик-отец. На похоронах Фени встретились все враждебные партии, то есть Савины, Колобовы, Пазухины и Брагины. Гордей Евстратыч плакал вместе с женщинами и не стыдился своих слез. Зотушке пришлось даже утешать братца, а также и плакавшего о. Крискента. Только двое в этой толпе оставались без-

участными и неподвижными, точно они застыли на какой-то одной мысли, — это были Нил Поликарпыч и Татьяна Власьевна. Нил Поликарпыч не мог плакать, потому что горе было слишком велико; а Татьяна Власьевна думала о том, что эта смерть — наказание за ее страшный грех. На свежей могиле о. Крискент сказал прочувствованное слово, пользуясь случаем, чтобы напомнить своей пастве о ничтожности и тленности всего земного, о нашей неправде и особенно о тлетворном значении разделительной силы. Добрый старик хотел на могиле Фени примирить враждовавших овец. Овцы слушали его, в душе во всем соглашались, многие даже плакали, и все разошлись по своим домам, чтобы с новыми силами продолжать старые счеты и действовать в духе крайнего разделения.

— Это Брагины убили Феню, — говорили у Савиных и Колобовых. — Уж эта Татьяна Власьевна!.. Да и Гордей-то Евстратыч тоже хорош! Правду говорят: седина в бороду, а бес в ребро.

Последними остались на Фениной могилке Нил Поликарпыч, бабушка Татьяна и Зотуш-

ка. Они долго молились и точно боялись уйти с кладбища, оставив здесь Феню одну.

— Нил Поликарпыч, пойдемте домой... — говорил Зотушка, осторожно стараясь оттащить старика от могилы. — Еще простудитесь...

— Ах, я дурак... дурак!.. — дико вскричал Нил Поликарпыч, ударив себя по лбу кулаком. — Ведь нужно было только напоить Феню дорогою травой, жива бы осталась...

Этой мыслью разрешились наконец благодатные слезы! Старик заплакал в первый раз после смерти своей дочери, опустившись на снег коленями. Он был без шапки, и остатки мягких волос развевались на его голове от резкого зимнего ветра; но он не слыхал и не чувствовал ничего. Побелевшие губы шептали какую-то бессвязную чепуху о дорогой траве и других не менее верных средствах. Каждый из троих думал, что ему следовало умереть, а не Фене. Но смерть имеет свою логику и скашивает самые цветущие колосья на человеческой ниве, оставляя для чего-то массу нетронутого человеческого сора.

— Куда теперь? — спрашивал Нил Поли-

карпыч, дико озираясь по сторонам. — Домой... зачем?

Девушка перед смертью взяла слово с Зотушки, что он не оставит отца и заменит ему хоть отчасти ее; Зотушка поклялся и теперь окончательно переселился в пятовский дом, чтобы ухаживать за Нил Поликарпычем, который иногда крепко начинал задумываться и даже совсем заговаривался, как сумасшедший.

Глава 18

Весной работы на Смородинке оживились с новой силой: ставили вторую паровую машину. Били две новых шахты, потому что в старой золото уже «пообилось» и только шло богатыми гнездами там, где отдельные жилы золотоносного кварца выклинивались, то есть сходились в одну. Зимний заработок был меньше прошлогоднего, потому что работы вообще велись через пень-колоду, благо самому хозяину было не до жилки. Но и весной, хотя Гордей Евстратыч часто бывал на Смородинке, можно было уже заметить, что у него точно не лежало сердце к прииску и его по-

стоянно тянуло в Белоглинский завод. Он часто жаловался, что совсем уронил батюшкину торговлю панских товаров, и предполагал поднять ее на широких основаниях, для чего думал поставить две больших каменных лавки на городской манер. Эта затея была продолжением непременного желания построить себе дом вроде шабалинского. Дело пока стояло за местом. Гордей Евстратыч все еще не решался переселиться окончательно с насиженного пепелища на православную сторону, где было подсмотрено самое подходящее местечко.

— Мы, мамынька, наладим лавки-то под домом, как в городу, — часто повторял Гордей Евстратыч.

— Нет, милушка, это не годится: с рынку уйдешь и покупателей растеряешь... Батюшка-то не глупее был нас с тобой, а сидел да сидел себе на рынке.

Последний аргумент имел неотразимую силу, и Гордей Евстратыч утешался пока тем, что хоть дом поставит по своему вкусу. Он привозил из города двух архитекторов, которые меряли несколько раз место и за рюмкой

водки составляли проекты и сметы будущей постройки.

— За деньгами не постоим, а чтобы, главное, все было форменно, на господскую руку, — упрашивал Гордей Евстратыч.

— Будет форменно, — уверяли архитекторы и, забрав задатки, укатили в город.

По последнему зимнему пути Брагин начал производить заготовку материалов: лесу, бутового камня, железа, глины, кирпичу и т. д. В версте от Белоглинского завода Брагиным строился кирпичный завод, так как готового кирпича в большом количестве в Белоглинском заводе достать было негде; подряжены были две плотничных артели, артель вятских каменщиков, пильщики, столяры и кровельщики. Гордей Евстратыч хотел поднять дом непременно в одно лето, чтобы на другое лето приступить к его внутренней отделке, то есть выштукатурить, настлать полы, выкрасить, вообще привести в форменный вид. Как тронется снег, решено было приступить к подготовительным работам: рыть канавы под фундамент, обжигать кирпич, пилить лес. Эти хлопоты отнимали все

свободное время Гордея Евстратыча, и за ними он забывал о своем недавнем горе, которое миновало, как тяжелый сон. Только иногда ему становилось очень жутко, точно камнем придавит: в эти минуты Брагин или уезжал в город, или попадал в шабалинский дом, что было равносильно, потому что там и здесь Гордей Евстратыч разрешал на водку и кутил без просыпу несколько дней подряд. Вообще, он за последний год порядком пристрастился к веселому житью и «принимал водку» в большом количестве, извиняя себя компанией. Только в церкви Гордей Евстратыч был исправен по-прежнему и вел церковные дела так, что комар носу не подточит.

Чтобы поднять запущенную батюшкину торговлю, Гордей Евстратыч сам «сгонял» в Ирбитскую ярмарку и поворотил там целую уйму панского товара, чтобы разом затмить всех остальных белоглинских торговцев. Он теперь часто бывал в лавке и собственноручно приводил все товары в порядок, при помощи невесток и Нюши; впрочем, последняя главным образом вела торговую книгу. Случалось как-то так, что Гордей Евстратыч прихо-

дил в лавку как раз тогда, когда там сидела Ариша. Сначала сноха побаивалась этих посещений, но Гордей Евстратыч совсем не обращал на нее никакого внимания и даже покрикивал, когда находил в чем непорядки. Такое поведение успокоило молодую женщину, и она начала относиться к свекру с бóльшим доверием.

— Ну, ну, поворачивайся, сношенька, — покрикивал на нее Гордей Евстратыч, когда Ариша мешкала.

Раз Гордей Евстратыч заехал в лавку навеселе; он обедал у Шабалина. Дело было под вечер, и в лавке, кроме Ариши, ни души. Она опять почувствовала на себе ласковый взгляд старика и старалась держаться от него подальше. Но эта невинная хитрость только подлила масла в огонь. Когда Ариша нагнулась к выручке, чтобы достать портмоне с деньгами, Гордей Евстратыч крепко обнял ее за талию и долго не выпускал из рук, забавляясь, как она барахталась и выбивалась.

— Тятенька… пустите!.. Христос с вами!

— А… испугалась!.. Ну, ну, повернись еще… ишь, какая круглая стала!

— Я бабушке Татьяне скажу, тятенька!..

— Ну, ну, дура, я пошутил.

Ариша отошла в угол лавки и, поправляя сбившееся платье и платок на голове, тихонько заплакала. Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом подошел к невестке и сильно толкнул ее локтем в бок.

— Чего ты ревешь, корова?.. — закричал он, схватывая Аришу за руку. — Ишь, распустила нюни-то... Ласки не понимаешь, так пойми, как с вашим братом по-настоящему обращаются.

Проспавшись, Гордей Евстратыч немного одумался и, чтобы загладить свой грех, потихоньку от других пообещал Арише, что привезет ей из города такого гостинца, какого она и во сне не видывала.

— Мне, тятенька, ничего от вас не нужно... — твердо объявила Ариша, собирая всю свою храбрость. — Я ничего больше не возьму от вас, хоть меня на части режьте.

— А... так ты вот какие разговоры с отцом заводишь? — зарычал Гордей Евстратыч. — Погоди, я тебя так проучу, что ты у меня узнаешь, как грубить...

— Я Михалке все скажу...

— Говори... Я вас и с Михалком-то обоих в один узел завяжу. Слышишь?

Под первым впечатлением Ариша хотела рассказать все мужу, но Михалко был на прииске; пожаловаться бабушке Татьяне Ариша боялась, потому что старуха в последнее время точно косилась на нее; пожалуй, ей же, Арише, и достанется за извет и клевету. Но как же опять не сказать? И стыдно ей было, да Ариша и сознавала, что такой оборот не принесет ей никакой пользы, а только лишние слезы отцу с матерью да домашние неприятности. Все равно Гордей Евстратыч не послушает никого, а только еще пуще озлобится на беззащитную сноху. В крайнем случае Ариша придумала два выхода: убежать со Степушкой к родным, а если ее оттуда добудут через полицию — повеситься или утопиться... Все это обдумывалось в бессонную ночь и было полито горькими слезами, которые Ариша должна была глотать про себя. Она припомнила к случаю разные истории, где свекры добывали невесток правдами и неправдами: в раскольничьих семьях таких

снохачей было несколько, — все это знали, все об этом говорили, а дело оставалось шитым и крытым. Особенно врезалась ей в память история купцов Кокиных, которую она слышала еще в детстве. Старик Кокин увязался за своей снохой и, не добившись от нее ничего, зверски убил ее ребенка, девочку лет четырех: старик завел маленькую жертву в подполье и там отрезывал ей один палец за другим, а мать в это время оставалась наверху и должна была слушать отчаянные вопли четвертуемой дочери. Страшное преступление потом раскрылось, и старик Кокин был наказан плетьми — это было еще при старых судах, — а сноха сошла с ума. Мысли, одна страшнее другой, одолевали бедную Аришу, и она то принималась безумно рыдать, уткнувшись головой в подушку, то начинала молиться, молиться не за себя, а за своего Степушку, который спал в ее каморке детски-беззаботным сном, не подозревая разыгрывавшейся около него драмы.

Успокоившись немного, Ариша решилась еще подождать, что и оказалось самым лучшим. Гордей Евстратыч оставил ее в покое, не

приставал с своими ласками, но зато постоянно преследовал всевозможными придирками, ворчаньем и руганью. Ариша покорно сносила все эти невзгоды и была даже рада им: авось на них износится все горе, а Гордей Евстратыч одумается. На ее счастье, подвернулся такой случай, который перевернул в брагинском доме все вверх дном.

Городские архитекторы составили план брагинского дома и явились в Белоглинский завод, чтобы начать постройку. Материалы были все заготовлены и даже канавы под фундамент вырыты, оставалось приступить к самой закладке. Брагин пригласил о. Крискента помолебствовать, как это водится у добрых людей, чтобы все было честь честью; как раз случился Порфир Порфирыч в Белоглинском заводе; одним словом, закладка дома совершилась при самой торжественной обстановке, в присутствии Порфира Порфирыча, Шабалина, Плинтусова, Липачка и других. После молебствия все, конечно, были приглашены в старый брагинский дом откушать хлеба-соли и вспрыснуть новую постройку, чтоб она крепче стояла.

— Без вспрысков какой же дом? — говорил Шабалин. — Вон я строил свой, так, может, не одну бочку с своими благоприятелями ро́спил. Зато крепко вышло.

— И мы от добрых-то людей не в угол рожей, Вукол Логиныч, — обижался Брагин. — Милости просим, господа... Только не обессудьте на нашей простоте: живем просто, можно сказать, без всякого понятия. Разве вот дом поставим, тогда уже другие-то порядки заведем... Порфир Порфирыч, пожалуйте!

В брагинском доме была приготовлена роскошная закуска, а потом настоящий богатый обед, «как у других». Татьяна Власьевна была великая мастерица по части таких торжественных «столов» и на этот раз особенно потщилась, чтобы не ударить лицом в грязь пред настоящей компанией. Правда, модных кушаний не было с французскими соусами и разными мудреными приправами, но зато были художественно состряпанные пироги, всевозможные разносолы, вареное и жареное. На закуску Гордей Евстратыч прихватил из городу салфеточной икры, омаров, страсбургских пирогов, астраханских балыков,

провесной белорыбицы и всякой прочей снеди, которую ел у Шабалина и других золотопромышленников. В винах, конечно, тоже недостатка не было, потому что народ, бывший в брагинском доме, любил «мочить губу», как говорил Зотушка. Обстановка в брагинском доме за последний год значительно изменилась, потому что из Нижнего и Ирбита Гордей Евстратыч навез домой всякой всячины: ковров, столового серебра, новой мебели, посуды и т. д. Конечно, все это в обыкновенное время было припрятано по сундукам и шкафам, а мебель стояла под чехлами; но теперь другое дело — для такого торжественного случая можно было и развернуться: чехлы с мебели были сняты, на окнах появились шелковые драпировки, по полу французские ковры, стол сервирован был гарднеровской посудой и новым столовым серебром. Камчатные дорогие скатерти и салфетки дополняли столовый убор. Вообще все было устроено форменно, дескать, и мы не левой ногой сморкаемся, хотя Гордей Евстратыч и прикидывался пред гостями Акимом-простотой, а Татьяна Власьевна с низкими поклонами при-

говаривала:

— Уж не обессудьте, дорогие гости, на нашем убожестве!

— А ты вот что, спасенная душенька, — говорил Шабалин своим обычным грубым тоном, — когда ко мне-то в гости соберешься?

— Собираюсь, давно собираюсь, Вукол Логиныч, да вот все как-то не могу собраться... Стара стала я, ведь на восьмой десяток. В чужой век зажилась...

— Ладно, ладно, бабушка, нас всех переживешь... А ты приходи все-таки, я тебе такую штучку покажу, не за хлебом-солью будь сказано.

— Ох, уж ты, Вукол Логиныч, всегда... разговор-то у тебя...

— Чего разговор? Разговор настоящий... хозяйственный. Век живи — век учись. Нарочно мастера себе из городу привозил, чтобы мне одну штуку наладил, понимаешь — теплую... Козет называется.

Этот «козет» особенно занимал Шабалина в последнее время, и он нарочно привозил гостей из других заводов, чтобы показать им немецкую выдумку.

— Отстань, греховодник... — отплевывалась Татьяна Власьевна, когда Шабалин подробно объяснил назначение немецкой выдумки.

— Сие действительно весьма предусмотрительно устроено, — вставил свое слово о. Крискент, большой любитель домашности.

— Вот с отцом Крискентом и приходи, бабушка, — говорил Шабалин. — Мы хоть и не одной веры, а не ссорились еще... Так, отец Крискент?

— Зачем ссориться, Вукол Логиныч?.. Бог один для всех, всех видит, и благодать Его преизбыточествует над нами, поелику ни един влас с главы нашей не спадет без Его воли. Да...

Около закуски гости очень скоро развеселились, так что до обеда время пробежало незаметно. Порфир Порфирыч успел нагрузиться и, как всегда, с блаженной улыбкой нес всевозможную чепуху; Шабалин пил со всеми и не пьянел; Липачек едва мигал слипавшимися глазами; а Плинтусов ходил по комнате, выпячивая грудь, как индейский петух. Архитекторы сначала стеснялись в

незнакомой компании, но потом устроили разрешение вина и елея и быстро познакомились. Даже о. Крискент не избег общей участи и, пропустив рюмку какой-то заветной наливки, лихорадочно расстегивал пуговицы своего подрясника.

Когда Татьяна Власьевна начала накрывать обеденный стол, Порфир Порфирыч наступил на нее.

— Бабушка... кто же с нами обедать будет? — спрашивал он, стараясь сохранить равновесие колебавшегося тела.

— Как кто? Все будут обедать, Порфир Порфирыч: отец Крискент, Вукол Логиныч, Гордей Евстратыч...

— Ах, не то, бабушка... Понимаешь? Господь, когда сотворил всякую тварь и Адама... и когда посмотрел на эту тварь и на Адама, прямо сказал: нехорошо жить человеку одному... сотворим ему жену... Так? Ну вот, я про это про самое и говорю...

— Что-то невдомек мне будет, Порфир Порфирыч... Стара я стала.

— Ну, ну... Экая ты, бабушка, упрямая! А я еще упрямее тебя... Отчего ты не покажешь

нам невесток своих и внучку? Знаю, что красавицы... Вот мы с красавицами и будем обедать. Я толстеньких люблю, бабушка... А Дуня у вас как огурчик. Я с ней хороводы водил на Святках... И Ариша ничего.

— Перестаньте грешить-то, Порфир Порфирыч... У нас молодым женщинам не пригоже в мужской компании одним сидеть. Ежели бы другие женщины были, тогда другое дело: вот вы бы с супругой приехали...

— Одолжила, нечего сказать: я с своей супругой... Ха-ха!.. Бабушка, да ты меня уморить хочешь. Слышишь, Вукол: мне приехать с супругой!.. Нет, бабушка, мы сегодня все-таки будем обедать с твоими красавицами... Нечего им взаперти сидеть. А что касается других дам, так вот отец Крискент у нас пойдет за даму, пожалуй, и Липачек.

Шабалин и другие гости присоединились к желанию Порфира Порфирыча и представили свои резоны.

— А ежели ты, спасенная душа, не покажешь нам своих невесток, — говорил Шабалин, — кончено — сейчас все по домам и обедать не станем.

— Так, так! — подхватили все.

— Да разве мы их съедим? — объяснил Плинтусов. — Ах, боже мой!.. За кого же вы в таком случае нас принимаете? Надеюсь, за порядочных людей... Вот и отец Крискент только что сейчас говорил мне, что не любит обедать в одной холостой компании и что это даже грешно.

— Господа, да что мы тут разговариваем попусту в самом-то деле? — заговорил Порфир Порфирыч. — Прощай, бабушка... А мы обедать к Вуколу поедем.

Дело приняло такой оборот, что Татьяне Власьевне наконец пришлось согласиться на все, а то этот блажной Порфир Порфирыч и в самом деле уедет обедать к Вуколу и всю компанию за собой уведет. Скрепя сердце она велела невесткам одеваться в шелковые сарафаны и расшитые золотом кокошники, а Нюше достала из сундука свою девичью повязку, унизанную жемчугами и самоцветным камнем. В этих старинных нарядах все три были красавицы на подбор, хотя Ариша сильно похудела за последние дни, что Татьяна Власьевна заметила только теперь. Нюша была

вообще какая-то вялая и апатичная: после смерти Фени она окончательно изменилась, и о прежней стрекотунье Нюше, которая распевала по всему дому, и помину не было. Лучше всех была Дуня в своем алом глазетовом сарафане и кисейной рубашке: высокая, полная, с румянцем во всю щеку и с ласково блестевшими глазами, она была настоящая русская красавица. Когда все трое вышли к столу, гости приняли их с самыми шумными проявлениями своего восторга.

— Ах ты, мой бутончик!.. пупочка... — говорил Порфир Порфирыч, целуя руки у Дуни. — Вот так красавица!.. Ну-ка, повернись-ка маленько... Ну!.. Пышная бабенка, черт возьми! Аришенька, матушка, здравствуй!.. Что это ты нахохлилась, как курица перед ненастьем?

Порфир Порфирыч поместился за обеденным столом между Дуней и Аришей, а напротив себя усадил Нюшу и был, кажется, на седьмом небе.

— Вот теперь отлично... — говорил Порфир Порфирыч, стараясь обнять разом обеих дам.

— Не балуй, Порфир Порфирыч!.. — строго

заметила Татьяна Власьевна. — А то я всех уведу.

— Не буду, не буду!

Обед начался самым веселым образом, хотя дамы немножко и конфузились с непривычки к компании. Сама Татьяна Власьевна не садилась за стол, наблюдая за порядком и за подававшей кушанья кривой Маланьей. Гости ели и хвалили хозяйку, Гордей Евстратыч хлопотал насчет вин. Говорили о новом доме и его отделке; высчитывали его стоимость, кричали, спорили, — одним словом, обед вышел как все парадные обеды: все было форменно. Отец Крискент, разрезывая на своей тарелке кусок пирога с осетриной, благочестиво говорил о домостроительстве вообще и даже привел в пример Соломона, тонко сплетая льстивые слова тароватому хозяину. Липачек провозгласил тост за здоровье хозяйки, и, когда все поднялись с полными бокалами, чтобы чокнуться с ним, Гордей Евстратыч вдруг побледнел и уронил свой бокал: он своими глазами видел, как Порфир Порфирыч, поднимаясь со стула с бокалом в одной руке, другою обнял Аришу.

— Порфир Порфирыч... ты это как же?.. — глухо спросил Гордей Евстратыч. Он был бледен как полотно, а губы у него тряслись от внутреннего бешенства, которое он напрасно старался сдержать.

— Я?.. Я — ничего... — как ни в чем не бывало ответил Порфир Порфирыч, с изумлением оглядываясь кругом.

— Ариша, ступай к себе... — приказал Гордей Евстратыч дрожавшим от бешенства голосом.

— Вот тебе и клюква! — засмеялся Порфир Порфирыч. — Как же это так, Гордей Евстратыч?.. Я, пожалуй, на один бок наелся...

Эта маленькая сцена на мгновение остановила общее веселье: гости переглядывались, о. Крискент попробовал было вступиться, но его никто не слушал.

— Да ты никак осердился на меня? — спрашивал Порфир Порфирыч хозяина. — Я, кажется, ничего не сделал...

— Ну, мне на свои-то глаза свидетелей не надо, — отрезал Гордей Евстратыч и прибавил: — Все люди как люди, Порфир Порфирыч, только тебя, как кривое полено, в полен-

ницу никак не укладешь...

Порфир Порфирыч ничего не ответил на это, а только повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. Татьяна Власьевна бросилась за ним и старалась удержать за фалды сюртука, о. Крискент загородил было двери, но был безмолвно устранен. Гордей Евстратыч догнал обиженного гостя уже на дворе; он шел без шапки и верхнего пальто, как сидел за столом, и никому не отвечал ни слова.

— Голубчик, Порфир Порфирыч... прости, ради Христа, на нашем глупом слове! — умолял Брагин, хватая гостя за руки. — Хочешь, при всех на коленках стану у тебя прощенья просить!.. Порфир Порфирыч!..

Порфир Порфирыч вырвал свою руку, без шапки выбежал за ворота и нетвердой походкой пошел вдоль Старо-Кедровской улицы; за ним без шапки бежал Шабалин, стараясь догнать. Брагин постоял-постоял за воротами, посмотрел, куда пошли его гости, а потом, махнув рукой, побрел назад.

— А ведь дело-то, пожалуй, выйдет табак... — заметил Плинтусов, когда Брагин вернулся к гостям.

Гордей Евстратыч сам видел, что все дело испортил своей нетерпеливой выходкой, но теперь его трудно было поправлять. Торжество закончилось неожиданной бедой, и конец обеда прошел самым натянутым образом, как поминки, несмотря на все усилия о. Крискента и Плинтусова оживить его. Сейчас после обеда Гордей Евстратыч бросился к Шабалину в дом, но Порфира Порфирыча и след простыл: он укатил неизвестно куда.

— Что же теперь делать? — спрашивал Гордей Евстратыч своего благоприятеля Шабалина.

— А уж и не знаю, Гордей Евстратыч, — уклончиво ответил тот. — С Порфиром Порфирычем шутки плохие, пожалуй, еще и жилку отберет...

Оно так и вышло.

Через неделю на Смородинку приехал горный чиновник, осмотрел работы и составил протокол, что разработка золота производилась неправильная: частные лица могут промывать только россыпное золото, а не жильное, которое добывается казенным иждивением. Смородинка в качестве коренного ме-

сторождения должна была поступить в казенное ведомство, а Гордей Брагин подвергался надлежащей ответственности за неправильное объявление прииска.

Работы были прекращены, контора опечатана, рабочие и служащие распущены по домам, и это как раз в самый развал летней работы, в первых числах мая. Удар был страшный, и, конечно, он был нанесен опытной рукой Порфира Порфирыча.

— Вот тебе и кривое полено... Ха-ха!.. — заливался Шабалин, когда услышал о закрытой Смородинке. — Прощайся, Гордей Евстратыч, с своей жилкой, коли не умел ей владать...

Глава 19

Брагин полетел хлопотать в Екатеринбург в надежде уладить дело помимо Порфира Порфирыча. Посоветовался кое с кем из знакомых золотопромышленников, с двумя адвокатами, с горными чиновниками — все качали только головами и советовали обратиться к главному ревизору, который как раз случился в городе.

Гордей Евстратыч отыскал квартиру главного ревизора и со страхом позвонил у подъезда маленького каменного домика в пять окон. На дверях блестела медная дощечка — «Ардалион Ефремыч Завиваев».

— Барин дома? — спрашивал Брагин выскочившую на звонок горничную.

— Дома-с.

Через минуту Гордей Евстратыч осторожно вошел в кабинет, где его встретил сам хозяин — вылитый двойник Порфира Порфирыча, так что в первую минуту Брагин даже попятился со страху.

— Что прикажете, как вас звать?

— Да вот дельце, Ардалион Ефремыч, вы-

шло…

— Это насчет Смородинки?.. Не могу, не могу, не могу!.. — закричал Завиваев, отмахиваясь обеими руками. — Я семнадцать лет служу на Урале главным ревизором… Да!.. Это беззаконие… Я и Порфира Порфирыча отдам под суд вместе с тобой!

Хотя Завиваев и кричал на Брагина, но это был не злой человек. Он даже пошутил над умолявшим его Гордеем Евстратычем и, ласково потрепав по плечу, проговорил:

— У меня под надзором девятьсот приисков, милочка, и ежели я буду всякому золотопромышленнику уступать, так меня Бог камнем убьет, да!.. Дело твое я знаю досконально и могу сказать только то, что не хлопочи понапрасну. Вот и все!.. Взяток никому не давай — даром последние деньги издержишь, потому что пролитого не воротишь.

— Ардалион Ефремыч, спасите… не погубите!

Брагин ушел от Завиваева ни с чем, проклиная на свете все и всех. Дело было дрянь, как его ни поверни. Не доверяя совету Завиваева, Гордей Евстратыч принялся усиленно

хлопотать и лез в каждую щель, чтобы только воротить Смородинку. Эти хлопоты стоили ему больших денег и ровно ни к чему не привели: жилка пропала навсегда!.. Вернуться домой с пустыми руками Гордею Евстратычу было тошнехонько, и он проживался в городе целый месяц. У него все-таки был в руках кругленький капитальчик тысяч в сто, и друзья-приятели утешали его, что горевать еще не о чем, когда такой капитал шевелится в кармане. Его познакомили с такими дельцами, которые сулили золотые горы — только стоило пустить капитал в оборот. С горя Брагин закутил в хорошей компании, которая утешала его на все руки. Однажды он сидел в гостях у знакомого золотопромышленника, где набралось всякого народа; тут же сидел какой-то господин в золотых очках и с толстой золотой цепочкой у часов. Он все время точно присматривался к Гордею Евстратычу, а потом отвел его в сторону и таинственно проговорил:

— Эх вы, Гордей Евстратыч... Нашли о чем горевать!.. Я вам скажу, что мы еще не такое золото отыщем. Приезжайте ко мне потолко-

вать, а вот вам моя карточка.

На карточке неизвестного Гордей Евстратыч прочитал: «Владимир Петрович Головинский, техника».

«Черт его знает, может быть, какой-нибудь жулябия... — подумал Брагин, перевертывая в руках атласную карточку. — Наслышался, что у Брагина деньги еще остались в кармане, — вот и подсыпается мелким бесом».

Прежде чем отправиться к Головинскому, Гордей Евстратыч навел о нем кое-какие справки через общих знакомых, из которых оказалось, что Головинский вообще человек хороший, хотя определенных занятий не имеет. Его видали в клубе, в театре, в концертах — вообще везде, где собиралась хорошая публика; он был знаком со всем городом и всех знал, имел пару отличных вяток, барскую квартиру и жил на холостую ногу. Самая наружность Головинского имела в себе много подкупающего: высокий, средних лет, с окладистой бородкой и выхоленным дворянским лицом, с приличными манерами, всегда безукоризненно одетый, он везде являлся заметным человеком. Особенно дамы были от него

в восхищении.

— Ну что же, не съест он меня, прах его побери... — решил Брагин, отправляясь отыскивать квартиру Головинского, который жил на главной улице.

Кабинет в квартире Головинского был устроен на деловую ногу с той специальной роскошью, какую устраивают себе люди, умеющие быть богатыми. Гордей Евстратыч не ожидал ничего подобного: в самом воздухе точно пахло тысячами, не теми шальными мужицкими тысячами, как у Шабалина например, а настоящими, господскими тысячами. И сам Головинский совсем не походил на жулябию, а держался с большим гонором. Уж совсем не походил на этих горных чинушек вроде Порфира Порфирыча или Завиваева. Принял он Брагина очень любезно, но с весом. Усадив гостя в кресло, Головинский несколько раз прошелся по комнате, поправив редевшие на голове волосы, и мягким голосом заговорил:

— Вас, уважаемый Гордей Евстратыч, вероятно, удивило мое приглашение... Да?.. Очень понятно. Конечно, вы под рукой собрали кое-

какие справки обо мне... Опять-таки понятно, потому что идти толковать о деле к совершенно незнакомому человеку очень сомнительно, хоть до кого доведись. Я вам скажу, что вам другие сказали обо мне... Но это все равно: я хотя и везде здесь бываю, но меня никто не знает. Хорошо.

Головинский мягко потер свои выхоленные белые руки, подыскивая слова и мельком взглядывая на сидевшего в кресле Брагина.

— Сначала я вам скажу о себе, Гордей Евстратыч, — продолжал Головинский после короткой паузы. — Родился и вырос я в Москве, служил несколько лет на частной службе, сколотил небольшой капитальчик, а потом получил наследство после дяди... Сначала думал завести какое-нибудь дело в Москве, но с моими средствами так трудно пробить дорогу: там миллионные дела обделываются, как здесь пироги бабы стряпают, а у меня несколько тысяч. Вот я и задумал попытать счастья в провинции и приехал на Урал, года два-три назад. Место действительно богатое, и дело можно себе подыскать, да только, не спросясь броду, я не люблю соваться в воду.

Жил, присматривался к людям... и подыскал одно дельце. Только нужно вам сознаться — уж извините меня за откровенность, Гордей Евстратыч! — народ здесь — не клади пальца в рот.

— Уж что говорить, самые первостатейные плуты живут... Это верно, Владимир Петрович!

— Да, на Урале люди вообще немного странные, — мягко поправил Головинский своего собеседника. — Взять хоть вот случай с вами, как у вас отняли прииск...

— Ох, верно, верно... зарезали без ножа!

— Я слышал всю эту историю и от души вас пожалел... Вижу, человек вы скромный, боитесь всякого начальства, вот они вас и крутят в бараний рог. Теперь вы остались без всякого дела, деньги у вас кое-какие еще есть; ну, долго ли попасть на какого-нибудь прощелыгу, который оберет у вас последние крохи. Ведь вам делали всевозможные предложения? Да, я слышал... Вот я и хотел, с одной стороны, предохранить вас от разных плутов, а потом предложить вам одно дельце. Вообще, кажется, мы сойдемся, по крайней мере я по-

любил вас с первого раза. Я человек прямой и говорю откровенно.

— Какое же дельце-то, Владимир Петрович? Оно, конечно, мы люди простые, а тоже можем чувствовать... Взять хоть того же Порфира Порфирыча — обидел он меня, вот как обидел!..

— И главное, Шабалин работает на такой же жилке, как и ваша.

— Верно, все верно... Погорячился я немного, а Шабалин, лукавый его задери, хоть верхом на нем катайся, даром что сам-то плут.

— В том-то и дело, Гордей Евстратыч, что люди здесь все фальшивые, ни на кого положиться нельзя. А кстати, — прибавил Головинский, вынимая из кармана золотые часы, — мы сейчас червячка заморим. Пойдемте в столовую.

Комнаты в квартире Головинского были убраны на барскую ногу, особенно столовая, где стоял резной буфет отличной работы. На накрытом столе какой-то невидимой рукой был приготовлен завтрак и кипел серебряный кофейник на спиртовой лампочке. «Не так, как у нас: как есть, так и столарню целую

подымут», — думал Брагин, усаживаясь за стол. Головинский сам налил два стакана кофе и пригласил подкрепиться рюмочкой водки. Гордей Евстратыч выпил и невольно удивился: такой водки он никогда не пивал. Вытерев салфеткой губы, Брагин заговорил:

— А уж вы извините нас, Владимир Петрович, на нашей простоте... Гляжу я на вас, все у вас по форме, а одного как будто не прихватывает...

— Именно?

— Хозяйки в дому нет... Так-с?

— Вы угадали, Гордей Евстратыч, сердцем угадали, потому что сердце у вас доброе... Да, хозяйки у меня нет.

— Отчего же не женитесь? За невестами у нас, слава богу, дело не станет... Али, может, столичная на примете держится?

— Есть и такой грех, Гордей Евстратыч... Только за откровенность я вам заплачу откровенностью, именно объясню, почему я не женился до сих пор. Дело вот в чем: хочется мне сначала делишки свои привести в настоящий порядок, этак куш зашибить порядочный, а потом уж и жениться. По нынешним време-

нам да не заработать деньгу — грешно от Бога будет, перед собственными детьми после совестно будет. Я так полагаю: уж если стоит жить, так жить по-настоящему, как добрые люди живут, и для этого сначала нужно потрудиться, поработать.

— И мы в своей темноте то же думаем, только вот деньги-то добывать плохо умеем... с понятием надо жить на свете, по всей форме. А как вы насчет дельца-то, Владимир Петрович?

— Сейчас, сейчас, Гордей Евстратыч. — Головинский не торопясь налил рюмку водки, поднес ее к свету и, причмокнув губами, проговорил: — Видите?

— Отличная водка...

— Да... А вот в этой самой водке богатство сидит, верное богатство, как дважды два четыре. Не чета вашему золоту... Вот и дельце, о котором я хотел с вами поговорить.

— Это, значит, водкой заняться?

— Именно... Самое верное дело, Гордей Евстратыч. Отчего раздуваются все эти наши здешние тузы?..

Головинский назвал несколько громких

имен денежных тузов и в каких-нибудь полчаса объяснил все извороты, ходы и выходы специально винной торговли. Гордей Евстратыч слушал с разинутым ртом, заваленный красноречивыми цифрами.

— Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы триста процентов на капитал? И не ищите... Если взять золотопромышленность, наконец, так здесь все зависит от случая, от счастья, а на водке еще никто не прогорел.

— Это-то верно, только необычное оно дело, Владимир Петрович... Даже как будто маненько претит: нечистая денежка идет.

— Э, батенька, нашли что... А вы так рассудите: чем мы грешнее других? Дело самое законное... Нажили капитал, тогда можно и водку побоку. А уж с настоящим-то капиталом можно руки расправить. Порфир Порфирыч теперь думает, что утопил вас, одним словом утопил, а тут выйдет наоборот: вы миллионером сделаетесь, а тогда... Да что тут говорить...

В течение двухчасовой беседы Головинский совсем заговорил Гордея Евстратыча и

на прощание, крепко пожимая руку, прибавил:

— Об одном только попрошу вас, дорогой Гордей Евстратыч: согласитесь или не согласитесь — молчок... Ни единой душе, ни одно слово!.. Это дело наше и между нами останется... Я вас не неволю, а только предлагаю войти в компанию... Дело самое чистое, из копейки в копейку. Хотите — отлично, нет — ваше дело. У меня у одного не хватит силы на такое предприятие, и я во всяком случае не останусь без компаньона.

Брагин ушел от Головинского точно в тумане: перед ним развертывались новые, широкие перспективы, а возможность насолить Порфиру Порфирычу кружила голову. Все теперь думают, что Гордей Евстратыч пропал со своею жилкой, а Гордей Брагин вдруг в миллионы залезет... Тогда и Порфиру Порфирычу, и Ардалиону Ефремычу, и Вуколу Логинычу — всем нос утрем... Всю дорогу из города Брагин раздумывал завязанную Головинским думушку и чем больше думал, тем сильнее убеждался в справедливости всего, что слышал от этого необыкновенного человека. И

ведь как говорит, шельма этакая: как по писаному, так и режет... Ловкач, уж что и говорить. С понятием, форменный человек. Небось ему надо в миллион вогнать, а не то чтобы валандаться на тысчонках, как другие прочие. Брагин с сожалением думал о своей торговле панскими товарами: уж именно темнота, темнота она и останется. И понятия настоящего в этой торговле нет: ублажай полдневских бабёнок, раздавай в долг, гонись за модным товаром, всякому угоди... Сколько одного греха на душу наберешься!..

Домой Гордей Евстратыч вернулся в самом веселом настроении, чем удивил всех, а Татьяна Власьевна даже обиделась и сердито проговорила:

— Нашел чему радоваться, нечего сказать... Ведь прииск-то все-таки отобрали?

— Ну отобрали, так что же?.. Пусть их, мамынька... Порфир-то Порфирыч с Шабалиным теперь думают, что по миру нас пустили... Ха-ха!..

— Милушка, над чем ты хохочешь-то?..

— Да над ними, мамынька, над Порфиром Порфирычем... Вот ужо, погоди, мы им так

утрем нос, что чертям покажется тошно.

— Значит, Смородинка-то опять к тебе отойдет? — обрадовалась Татьяна Власьевна.

— Ах, мамынька, совсем не то... Скажу тебе только одно: приедет к нам один человек, тогда сама все увидишь... Уж такой человек, такой человек...

— Может, опять какой-нибудь пьяница... Все эти городские на одну колодку!..

Гордей Евстратыч не стал спорить, а только махнул рукой: дескать, погоди, мамынька, вот сама увидишь. Теперь у Гордея Евстратыча было много хлопот с постройкой дома, которая позамялась с этой передрягой; пока он хлопотал в городе, едва успели сложить фундамент, хотя и было кому смотреть за рабочими. Михалко и Архип теперь болтались дома без всякого дела. Успокоившись после своих неудачных хлопот, Брагин с особенным старанием занялся домом: ездил на кирпичный завод, наблюдал за всеми работами и живмя жил на постройке, точно хотел всем показать, что ему все нипочем, как с гуся вода. Пусть посмотрят и Савины, и Колобовы, как он испугался Порфира Порфирыча да с горя начал

дом строить. В лавку Брагин заглядывал совсем редко, потому что там сидел Михалко, надежный человек, не то что снохи. Пожалуй, Брагин прикрыл бы свою панскую торговлю, если бы не была она поставлена батюшкой, ну да и ребятам все-таки заделье какое ни на есть, чтобы задарма на печке не сидели.

Недели через две, как был уговор, приехал и Головинский. Он остановился у Брагиных, заняв тот флигелек, где раньше жил Зотушка со старухами. Татьяна Власьевна встретила нового гостя сухо и подозрительно: дескать, вот еще Мед-Сахарыч выискался... Притом ее немало смущало то обстоятельство, что Головинский поселился у них во флигеле; человек еще не старый, а в дому целых три женщины молодых, всего наговорят. Взять хоть ту же Марфу Петровну: та-ра-ра, ты-ры-ры...

— Куда же Владимиру Петровичу деваться, ежели он ко мне по делу приехал? — успокаивал Гордей Евстратыч. — Кабы у нас в Белоглинском заводе гостиницы для приезжающих были налажены, так еще десятое дело, а то не на постоялом же дворе ему останавливаться, этакому-то человеку.

— Оно, конечно, так, милушка, да все-таки... Что уж больно его захваливаешь? Кругом, видно, обошел тебя... настоящая приворотная гривенка этот твой Владимир Петрович, так Медом-Сахарычем и рассыпается.

— Обнаковенно, мамынька, ежели человек с настоящим понятием, так он никогда не будет кочевряжиться, как Порфир Порфирыч... А обходить меня тоже нечего: дело чистое — как на ладонке.

— Ой, смотри, милушка, чтобы не обошел хваленый-то!..

Татьяна Власьевна крепко не доверяла гостю, потому что уж очень милушка-то на него обнадежился: неладно что-то, скоро больно...

Первым делом Головинский устроил свой флигелек, хотя приехал на несколько дней. Пол и стены были устланы коврами, окна завешены драпировками, на столе, за которым работал Головинский, появились дорогие безделушки, он даже не забыл захватить с собой складной железной кровати и дорожного погребца с серебряным самоваром. С ним приехал его камердинер, седой, благообразный старик Егор; это был слуга высшей школы —

молчаливый, степенный, сосредоточенный. Насколько барин был ласков и обходителен, настолько великолепный Егор был сух и важен, точно он был заморожен. Кривая сердитая Маланья крепко невзлюбила его и называла темной копейкой, хотя и не могла не удивляться умению Егора устроить барина по-своему.

— Уж так у них устроено, так устроено... — докладывала Маланья подозрительно слушавшей ее речи Татьяне Власьевне. — И сказать вам не умею как!.. Вроде как в церкви... Ей-богу! И дух у них с собой привезен. Своим глазом видела: каждое утро темная-то копейка возьмет какую-то штуку, надо полагать из золота, положит в нее угольков, а потом и поливает какою-то мазью. А от мази такой дух идет, точно от росного ладана. И все-то у них есть, и все дорогое... Ровно и флигелек-то не наш!..

Эти рассказы настолько возбудили любопытство Татьяны Власьевны, что она, улучив минуту, когда Головинский с Гордеем Евстратычем были на постройке, а Егор ушел на базар, нарочно сходила в флигелек и проверила

восторги Маланьи. Действительность поразила старуху, особенно белье и платье гостя, разложенное и развешанное Егором в таком необыкновенном порядке, как коллекция какого-нибудь архинемецкого музея. Другим обстоятельством, сильно смутившим Татьяну Власьевну, было то, что Владимир Петрович был у них в доме всего один раз — повернулся с полчасика, поговорил, поблагодарил за все и ушел к себе. Такой обходительный человек, что старухе наконец сделалось совестно перед ним за свои подозрения.

— Хоть бы ты его обедать позвал... — вскользь заметила Татьяна Власьевна сыну. — Как-то неловко, все же человек живет в нашем доме, не объест нас...

— Ах, мамынька!.. Да разве это такой человек, что стал он тебе чужие обеды собирать... Это настоящий барин, с понятием, по всей форме. Не чета тем объедалам, которые раньше нас одолевали... Он вон и в постройке-то все знает, как начал все разбирать, как начал разбирать — архитектора-то совсем в угол загнал. А я разве ослеп, сам вижу, что Владимир Петрович настоящее дело говорит. И все он

знает, мамынька, о чем ни спроси... Истинно сказать, что его послал нам сам Господь за нашу простоту!.. — Расхваливая гостя, Гордей Евстратыч, однако, не обмолвился ни одним словом, за каким делом этот гость приехал, и не любил, когда Татьяна Власьевна стороной заводила об этом речь.

Ближайшее знакомство с Головинским произошло как-то само собой, так что Татьяна Власьевна даже испугалась, когда гость сделался в доме совсем своим человеком, точно он век у них жил. Как это случилось — никто не мог сказать, а всякий только чувствовал, что именно Владимира Петровича и недоставало в доме; у всех точно отлегло на душе, когда Владимир Петрович появлялся в горнице. А приходил он всегда кстати и уходил тоже, никому не мешал, никого не стеснял; даже невестки и Нюша как-то сразу привыкли к нему и совсем не дичились. Одним словом, свой человек — и конец всему делу! Торжеством поведения Владимира Петровича было его уменье есть и пить, чем любовался даже сам Гордей Евстратыч. В брагинском доме возобновились прежние трапезы и самые

торжественные чаеванья. В стряпне Владимир Петрович знал такой толк, что даже поразил Маланью: он не пропускал без похвалы самомалейшего торжества кухонного искусства, что льстило Татьяне Власьевне, как опытной хозяйке. Он даже научил ее, как следует по-настоящему солить огурцы и готовить их впрок, именно: нужно заказать с Гордеем Евстратычем, когда он поедет в Нижний, привезти дубового листа, и огурцы будут целый год хрустеть на зубах, как свежепросольные.

— Давно я хочу, Владимир Петрович, спросить вас, да все как-то не смею... — нерешительно проговорила однажды Татьяна Власьевна. — Сдается мне, что как будто вы раньше к старой вере были привержены... Ей-богу! Уж очень вы хозяйство всякое произошли... В Москве есть такие купцы на Рогожском!.. Извините уж на простом слове...

Оказалось, что хотя Владимир Петрович и не был привержен к старой вере, но выходило как-то так, что Татьяна Власьевна осталась при своей прежней догадке.

— Нет, ты, мамынька, заметь, как он за

обедом сидит или чай пьет! — удивлялся, в свою очередь, Гордей Евстратыч. — Сразу видно человека... Небось не набросится, как те торопыги-мученики, вроде хоть Плинтусова взять!..

Собственно, настоящее дело, за которым приехал Головинский, было давно кончено, и теперь в Зотушкином флигельке шла разработка подробностей проектируемой винной торговли. У Владимира Петровича в голове были такие узоры нарисованы, что Гордей Евстратыч каждый раз уходил от него точно в чаду. Брагина поражало особенно то, что Владимир Петрович всякого человека насквозь видит, так-таки всех до единого. Только Гордей Евстратыч заикнется, а Владимир Петрович и пошел писать, да ведь так все расскажет, что Гордей Евстратыч только глазами захлопает: у него в голове читает, как по книге, да еще прибавит от себя всегда такое, что Гордей Евстратыч диву только дается, как он сам-то раньше этого не догадался... А винную часть Владимир Петрович так произошел, что и говорить было нечего: все по копейке вперед рассчитал, на все своя смета, везде

первым делом расчет, даже где и кому колеса подмазать и всякое прочее, не говоря уж о том, как приговоры от сельских обществ забрать и как с другими виноторговцами конкуренцию повести.

Головинский зорко присматривался к брагинской семье, особенно к Татьяне Власьевне, и, конечно, не мог не заметить того двоившегося впечатления, которое он производил на старуху: она хотела верить в него и не могла, а между тем она была необходима для выполнения великих планов Владимира Петровича. После долгого раздумья и самого тщательного исследования вопроса со всех его сторон и со всех точек зрения Головинский пришел к тому заключению, что теперь можно нанести последний решительный удар, чтобы «добыть старуху», как выражался про себя делец. Однажды, когда Владимир Петрович остался с глазу на глаз с Татьяной Власьевной, они разговорились.

— Давно я хочу вам сказать одну вещь, бабушка... Можно мне так называть вас, Татьяна Власьевна?

— Зови, коли глянется...

— Я простой человек, бабушка Татьяна, и люблю других простых людей. Так вот я смотрю на вас и часто думаю, что у вас чего-то недостает в доме... Так? Не денег, не вещей, а так... поважнее этого.

— Да чего же еще-то, милушка?.. Слава Христу, не можем, кажется, пожаловаться...

— Нет, не то... Постороннему человеку, бабушка Татьяна, это виднее. Я часто думаю об этом и решился высказать вам все откровенно. Вы не обидитесь на меня? Я в этом был уверен... Видите ли, какая вещь... Гм... Одним словом, я думаю о вас, бабушка Татьяна. Ведь вам подчас очень невесело приходится, и я знаю отчего. Виноват... Сначала я скажу вам, как вы ко мне лично относитесь и что думаете теперь. Вы мне не совсем доверяете... Да? Дескать, черт его знает, что у него на уме, у этого стрекулиста, приехал из городу, поселился и хочет подмазаться к нашим денежкам...

— Что вы, Владимир Петрович, Христос с вами?!.. Да я, милушка... Ах, какие вы слова выговариваете!

— Будемте начисто говорить, и я прямо

вам скажу, что вижу все это, понимаю и не обижаюсь. Для вас я действительно посторонний человек, а чужая душа — потемки... Так? Да вы не стесняйтесь, бабушка Татьяна, дело житейское: я говорю только, что вы думаете. Ну, так и запишем... Вас особенно смущает то обстоятельство, что мы затеваем с Гордеем Евстратычем? Да? Он не говорит никому ничего потому, что дал мне честное слово не болтать. Вот и все... Я человек осторожный и не люблю бросать слов на ветер, а тем больше хлопотать напрасно. Гордея Евстратыча я знал в городе как хорошего человека, потому ему и доверился, а теперь вызнал вас, бабушка Татьяна, и, кажется, могу вам довериться вполне.

Головинский подробно рассказал свою встречу с Гордеем Евстратычем и свои намерения насчет винной части. Он ничего не скрыл, ничего не утаил и с свойственным ему великим тактом тонко расшевелил дремавшую в душе бабушки Татьяны корыстную жилку. Заманчивая картина, с одной стороны, а с другой — самые неопровержимые цифры сделали свое дело: бабушка Татьяна

пошла на удочку и окончательно убедилась, что Владимир Петрович действительно хороший человек.

— Теперь возвратимся к тому, с чего начали, то есть что я хотел давно сказать, бабушка Татьяна, — продолжал Головинский, переводя дух. — Я с первого раза заметил, что у вас есть какое-то горе, а теперь знаю его и могу вам помочь, если вы хотите. Одним словом, вас мучат, бабушка Татьяна, ваши натянутые отношения к вашим родственникам, то есть к Савиным и к Колобовым. Вы считаете себя правыми, и они тоже; они мучатся от этого за своих дочерей, а вы вдвое, потому что эти дочери у вас постоянно перед глазами. И Гордей Евстратыч давно бы помирился с ними, да только случая не выпадало. Собственно, и не ссорились, вероятно, а так, ваше золото всех смутило... Я был в этом уверен. Вот самим и не помириться никогда, а тут нужно постороннего человека, который на все взглянул бы здраво, без всякого предубеждения. Хотите, я все устрою? Помирю и вас, и Гордея Евстратыча со всей вашей родней?

— Владимир Петрович, милушка, да как

это тебе на ум-то все это пришло… а?.. Ведь ты бы нас всех облагодетельствовал!..

— Мне просто жаль ваших невесток, жаль Гордея Евстратыча, а главным образом — жаль вас, бабушка Татьяна… Для вас специально все устрою!.. Нелегко это достанется, а устрою…

Старуха испытующе посмотрела на своего собеседника, покачала своей седой головой и решительно проговорила:

— Нет, милушка, ничего тебе не устроить…

— Да уж вы только мне позвольте, а там мое дело: моя голова в ответе…

— А как ты это устроишь?

— Опять мое дело…

Тронутая этим участием и прозорливостью Владимира Петровича, бабушка Татьяна рассказала ему подробно о том, как она, вкупе с о. Крискентом, хотела устроить такое примирение, воспользовавшись «гласом девственницы», а вместо того только загубила Феню. При этом воспоминании Татьяна Власьевна, конечно, всплакнула и сквозь слезы, вытирая свои потухшие глаза кончиком передника, проговорила:

— Ты еще не знаешь Матрены-то Ильинишны, так и говоришь так, а попробуй-ка. И Агнея Герасимовна: она только на вид простой прикидывается. У нас тут есть одна старая девушка, Марфа Петровна, так она мне все рассказала, что говорят про нас у Колобовых-то да у Савиных.

— Ага... Так. А я вам скажу, что эта девушка Марфа Петровна, вероятно, страшная сплетница, она вас и рассорила окончательно: вам наговорит про Колобовых да про Савиных с три короба, а им про вас. Вот сыр-бор и загорелся. Да уж вы только позвольте мне...

После долгого колебания Татьяна Власьевна наконец изъявила свое согласие, чего Головинский только и добивался. Он на той же ноге отправился к Колобовым и Савиным, а вечером пришел к бабушке Татьяне и немного усталым голосом проговорил:

— Ну, бабушка Татьяна, говорите: слава Богу! Все устроил... Завтра с Гордеем Евстратычем вместе поедем сначала к Колобовым, а потом к Савиным. Матрена Ильинишна кланяется вам и Агнея Герасимовна тоже... Старушки чуть меня не расцеловали и сейчас же

к вам приедут, как мы съездим к ним с визитом.

Это известие так поразило Татьяну Власьевну, что она в немом изумлении минут пять смотрела на улыбавшегося Владимира Петровича, точно на нее нашел столбняк. Даже было мгновение, что старушка усомнилась, уж не оборотень ли пред ней... И так просто: съездил, поговорил — и все как по маслу.

— Только для вас, бабушка Татьяна! — повторял Головинский, потирая руки.

Глава 20

Итак, двухлетнее «разделение» Брагиных с родней благодаря ловкому вмешательству Головинского закончилось миром. Старикам надоело «подсиживать» друг друга, и они с радостью схватились за протянутую руку.

— Да что он вам говорил-то, Матрена Ильинишна? — спрашивала Татьяна Власьевна, угощая в своем доме сватью Колобову и сватью Савину.

— Да, почесть, и разговору особенного не было, Татьяна Власьевна, — объяснили ста-

рухи, — а приехал да и обсказал все дело — только и всего. «Чего, — говорит, — вы ссоритесь?» И пошел и пошел: и невесток приплел, и золото, и Марфу Петровну... Ну, обнаковенно всех на свежую воду и вывел, даже совестно нам стало. И чего это мы только делили, Татьяна Власьевна? Легкое место сказать: два года... а?.. Диви бы хоть ссорились, а то только и всего было, что Марфа Петровна переплескивала из дома в дом.

— Вот, вот, это самое и есть... Марфа-то Петровна и была заводчицей всему делу!

Помирившиеся старушки были рады свалить вину на Марфу Петровну; Головинский предвидел такой оборот дела и с особенной тщательностью обработал именно этот пункт. Теперь оставалось только помириться с Пазухиными и с Зотушкой; но Зотушка явно избегал возможности сближения, а мириться с Пазухиными после проделок Марфы Петровны, в которых, несомненно, должна была принимать участие и Пелагея Миневна, нечего было и думать. Раньше бабушка Татьяна не теряла надежды уладить как-нибудь дело Нюши и Алешки Пазухина, а теперь она сама бы-

ла против этого брака, благо и девка стала забывать понемногу: девичье горе да девичьи слезы, как вешний дождь, — высохнут. Разговорам старушек не было конца. Когда исчерпаны были все подробности и отдельные эпизоды недавнего разделения, они принялись рассматривать те обновы, какие завелись в брагинском доме. Татьяна Власьевна вытащила все, что милушка успел накупить в последнее время на ярмарках в городе. Сватьи рассматривали, ценили и ахали от изумления, потому что все было такое дорогое, на барскую ногу: столовое и чайное серебро, мебель, ковры и т. д. Особенно восторг старушек возбудил отдел белья и платья, потом дорогие подарки Гордея Евстратыча снохам, Нюше и самой Татьяне. Соболья шубка Нюши, золотой «прибор» Ариши, парчовый сарафан бабушки, брильянтовые серьги, которые подарил Гордей Евстратыч Дуне за маленькую Таню, — все было осмотрено и облюбовано с приемами записных знатоков своего дела. Старушки с наслаждением ощупывали руками дорогие материи и не могли оторвать глаз от золота, заставлявшего их завистливо взды-

хать.

— Чего говорить, богатые вы нынче стали, Татьяна Власьевна, — говорила Матрена Ильинична, испытывавшая особенное волнение. — Рукой скоро не достать... Дом вон какой начали подымать, пожалуй, еще почище шабалинского выйдет.

О всем было переговорено, все было перемыто до последней косточки, и только никто ни единым словом не обмолвился о Фене Пятовой, точно она никогда не существовала... Этого черного пятна не мог смыть с брагинского золота даже сам Владимир Петрович. В первое за состоявшимся примирением воскресенье собрались в церкви и Брагины, и Савины, и Колобовы, так что эта картина мира окончательно умилила о. Крискента и он попробовал сказать слово на текст: «Что добро или красно, еже жити, братие, вкупе», но не мог его докончить — слезы радости душили его, и старик, махнув рукой, удалился в алтарь. А виновник этого общего торжества, то есть Владимир Петрович, стоял тут же в церкви в великолепном пальто и небрежно крестил его лацканы своими торопливыми бар-

скими крестиками.

— Ну, всем ты взял, Владимир Петрович, а молиться не умеешь, — началила Головинского после обедни бабушка Татьяна, — точно в балалайку играешь... А я еще думала, что ты к старой вере был привержен!..

Головинский порядочно зажился в Белоглинском заводе, подготовляя дело. Между прочим, он успел побывать и у Шабалина, и у Пятова, а зачем туда ездил — бог его знает. «Уж такой, видно, у него характер, — решила про себя Татьяна Власьевна, — пошел бы да поехал...» Старуха и не подозревала, что примирением с Колобовыми и Савиными Головинский сразу убил двух зайцев: во-первых, повернул на свою сторону самое Татьяну Власьевну, а во-вторых, расчистил дорогу Гордею Евстратычу, когда придется хлопотать по винному делу и брать приговоры от волостных обществ. Савины и Колобовы были люди влиятельные и много могли помочь успеху дела.

— Мы с двух сторон возьмем, — объяснил Головинский начинавшему сомневаться Гордею Евстратычу, — вы будете здесь орудовать,

а я в городе. Оно, как по маслу, все и сойдет...

Нужно сказать, что ...ская губерния была по части винной забрана в сильные руки одной могучей кучки виннозаводчиков, которые вершили все дела по-своему. Пробиться в этот заколдованный круг представляло непреодолимые трудности, и целый ряд неудачных попыток в этом направлении мог бы охладить всякого, но только не Владимира Петровича. Во главе винных тузов стояла одна персона из херсонских греков, некто Жареный, который спаивал всю...скую губернию и выплачивал казне одного акцизу несколько миллионов. Владычество его являлось государством в государстве; он был всесилен в качестве кабацкого патриарха и не допускал никого к своему золотому руну. В его руках были сосредоточены тысячи невидимых нитей, которыми было опутано все кругом, а он сидел в своей паутине и блаженствовал, как присосавшаяся пиявка. Гордей Евстратыч стороной слыхал о великой силе Жареного и впадал в невольное уныние, когда припоминал свои жалкие сто тысяч, которые он выдвигал против всесильного водочного короля, окру-

женного вдобавок целой голодной стаей своих компатриотов, которым он позволял пососать в свою долю.

— Сумлеваюсь я насчет этого Жареного, — не раз говорил Брагин Владимиру Петровичу. — Пожалуй, не угоняться за ним... Утопит...

— Ничего, не утопит, — уверял Головинский, — уж я все устрою. Мы смажем салазки и Жареному. Вы только приговор от общества возьмите...

Устроив свои дела в Белоглинском заводе, Владимир Петрович укатил в город, напутствуемый общими благословениями, как добрый гений. Даже Матрена Ильинична высказалась о нем в том роде, что «истинно Господь послал нам этого Владимира Петровича!». Брагин, не теряя дорогого времени, круто повел дела и сам принялся объезжать заводы и деревни, где хотел взять за себя кабаки по общественным приговорам; центром действия был, конечно, Белоглинский завод. На счастье Брагина, осенью кончались сроки приговорам, и он рассчитывал повернуть все по-своему, а для этого не скупился, где нужно

было, тряхнуть мошной. Расходы были обыкновенные: ведра два водки волостным старичкам, четвертной билет в зубы писарю и по таковому же старшине со старостой, а там известная откупная сумма «обчеству», смотря по выгодности пункта. В общей сложности расходы были довольно чувствительные и быстро унесли из брагинской казны тысяч двадцать пять — а там нужно было делать всякое кабацкое обзаведение. Головинский повел дело не менее энергично и, вооруженный широкой доверенностью Гордея Евстратыча, пролезал через десятки игольных ушей уездной и губернской администрации. Нужно было во многих местах смазать административную машину, а потому являлись часто побочные расходы — угодить «винной генеральше» и т. д. Гордей Евстратыч получил подробные отчеты его неутомимых хлопот, причем все расходы Головинский делал на свой счет, и их сумма превышала даже расходы самого Гордея Евстратыча, который даже стеснялся такой щедростью своего тароватого компаньона.

В самый горячий момент этих трогатель-

ных усилий, когда все дело было уже на мази, Гордей Евстратыч получил от Головинского лаконическую телеграмму: «Все улажено, он дает отступных вдвое против наших расходов».

— Ну, шалишь, не на тех напал!.. — соображал Брагин, торжествуя легкую победу. — Мы сами с усами, чтобы на твои отступные позариться. Нашел глупых!..

Было открыто до двенадцати кабаков, и дело пошло горячо. Водка не чета даже железной торговле или хлебной, не говоря уже о панском товаре: всегда тебе «мода» на эту водку — только получай денежки. На железо да на хлеб цены все-таки меняются, иногда совсем бывает застой в делах, а по винной части все хорошо: урожай — народ пьет с радости, неурожай — с голоду. Про заводских да про приисковых рабочих и говорить нечего: они только водкой и держались при своем каторжном труде. Только одно было нехорошо в этой винной части — очень уж много расходов на первый раз: так в разные части и рвут, а доходы там еще собирай. Конечно, дело было верное, но все-таки как-то жаль расста-

ваться с верными денежками. Головинский несколько раз приезжал в Белоглинский, осматривая кабаки, и все тянул деньги из Гордея Евстратыча. Дело не ждало, и отказать было неловко.

— Свои-то денежки я все ухлопал, — оправдывался Владимир Петрович, — теперь поневоле приходится тянуть вас... Потерпите, скоро барыши будем загребать. Это только сначала расходов много, а там пойдет совсем другое. Напустим мы холоду этому Жареному. Сам приезжал ко мне с отступными, и только не плачет.

Эти расходы заставляли Гордея Евстратыча крепко задумываться, и он несколько раз заводил о них речь с Татьяной Власьевной, которая всегда держала руку Владимира Петровича.

— Чтой-то, милушка, уж этакой-то человек. Уж кому же после этого верить! — говорила старуха. — Вон отец Крискент, его дело сторона, а он прямо говорит: «Господь вам, Татьяна Власьевна, послал Владимира Петровича, именно за вашу простоту...» И Матрена Ильинична с Агнеей Герасимовной то же са-

мое в голос говорят...

— Оно конечно, мамынька; только вот денег-то больно много ухлопали мы: так и плывут...

— Потерпи, милушка. Как быть-то?.. Деньги дело наживное. А уж насчет Владимира Петровича ты даже совсем напрасно сумлеваешься. Вон у него самовар даже серебряный, ковры какие, а дома-то, сказывают, сколько добра всякого... Уж ежели этакому человеку да не верить, милушка, так и жить на белом свете нельзя. На что наша Маланья, на всех фукает, как старая кошка, а и та: «Вот уж барин, так можно сказать, что взаправский барин!»

Постройка нового дома к первому снегу вчерне была кончена, хотя поставить стропила и покрыть крышу не успели. Дом вышел громадный, даже больше шабалинского, и Гордей Евстратыч думал только о том, как его достроить: против сметы везде выходили лишние расходы, так что вместо пятнадцати тысяч, как первоначально было ассигновано, впору было управляться двадцатью. А между

тем на руках у Гордея Евстратыча денег оставалось все меньше и меньше, точно они валились в какую прорву. С винной частью Гордей Евстратыч опять запустил свою панскую торговлю, во всем положившись на Михалку, который постоянно сидел в лавке. Архип разъезжал вместе с отцом по волостям, где открывались новые кабаки, и вел всю счетную часть. Между тем выручка в лавке все убывала, особенно когда Гордею Евстратычу приходилось уехать куда-нибудь недели на две. Татьяна Власьевна давно сметила, в чем дело, но покрывала Михалку, чтобы не поднимать в семье нового вздору; Михалко крепко зашибал водкой, особенно без отца. Кроме того, в Белоглинском заводе снова появился Володька Пятов, и его часто видали в брагинской лавке, а это была плохая компания. Ариша ходила с заплаканными глазами, но Татьяна Власьевна уговорила ее потерпеть.

— Уж как быть-то, голубушка, такое наше женское дело, — успокаивала она невестку, — теперь вот у нас мир да благодать, а ежели поднять все сызнова — упаси Владычица! Тихостью-то больше возьмешь с мужем всегда,

а вздорить-то, он всегда вздор будет... подурит-подурит Михалко и одумается. С этим Володькой теперь связался — от него вся и причина выходит...

Савины и Колобовы, конечно, знали о Михалкиных непорядках, но крепились, молчали, чтобы не расстроить только что заварившейся дружбы. Агнея Герасимовна потихоньку говорила Арише то же, что ей говорила Татьяна Власьевна, прибавляя в утешение:

— Ты еще благодари Бога, что Михалко-то одной водкой зашибается, а вон Архип-то, сказывают, больно за девками бегает... Уж так мне жаль этой Дуни, так жаль, да и Матрены-то Ильинишны! Только ты никому не говори ничего, Ариша, боже тебя сохрани!

Дуня была совсем другого темперамента, чем Ариша, и точно не хотела замечать ничего: ей было лень даже шевельнуться, и она после первого ребенка сильно начала толстеть... К детям сно́хи относились неодинаково: Ариша не могла надышаться на своего Степушку, а Дуня иногда даже совсем забывала о существовании маленькой Тани. Гордей Евстратыч относился к невесткам ласково, но

немного дулся на Аришу, потому что она всегда напоминала ему о разрыве с Порфиром Порфирычем. Ариша очень неловко чувствовала себя каждый раз в присутствии свекра, сознавая себя виноватой, хотя Гордей Евстратыч не сказал ей ни слова о том, что сам думал. Но раз, когда Гордей Евстратыч пришел откуда-то навеселе, он поймал Аришу в комнате одну и проговорил:

— Ну, Ариша, ты все еще на меня сердишься?.. А я так ни на кого не сержусь... и глаза закрыл, будто ничего не вижу. Все вы меня обманываете... Помнишь Порфира-то Порфирыча? Ничего я тебе не сказал тогда, все износил... Потом вы зачали меня с Михалкой обманывать... А разве я слеп?.. Все знаю, все вижу и молчу... Вот каков я человек есть, и ты это, Ариша, должна чувствовать. Да...

— Я вас не обманываю, тятенька... — проговорила Ариша, краснея до ушей.

— Не обманываешь? А куда Михалко выручку девает? А кто покрывает Михалку, когда он без меня домой пьяный приходит?.. Все хороши...

Гордей Евстратыч нехорошо засмеялся, и

этот вызывающий смех заставил Аришу вздрогнуть. Его покрытое розовыми пятнами, улыбавшееся лицо было ей хорошо знакомо: она не забыла последней сцены в лавке и теперь не знала, как себя держать: уйти — значит показать, что она подозревает Гордея Евстратыча в дурных намерениях, остаться — значит подать ему повод сделать какую-нибудь новую глупость. Эта нерешительность и испуг Ариши забавляли Гордея Евстратыча, и он, разглаживая свою подстриженную бороду, сделал по направлению к невестке несколько нерешительных шагов и даже протянул вперед руки.

— Ну, помиримся, Ариша, — говорил он. — Да иди ко мне, не бойся: не кусаюсь... Не хочешь?.. Не любишь?.. Ха-ха... Постой, змея, ты от меня все равно не уйдешь!

Молчание Ариши еще сильнее разозлило Гордея Евстратыча, и он, схватив ее за руку, с сверкавшими глазами прошептал:

— Слышишь, что я тебе сказал?.. Я ничего не забыл... Выбирай из любых.

Бедная Ариша тряслась всем телом и ничего не отвечала, но, когда Гордей Евстратыч

хотел ее притянуть к себе, она с неестественной силой вырвалась из его рук и бросилась к дверям. Старик одним прыжком догнал ее и, схватив за плечи точно железными клещами, прибавил:

— Ты у меня только пикни, я тебя задушу своими руками... Добра моего не чувствуешь, так узнай зло!

— Тятенька... побойтесь Бога...

— Убирайся, дура!..

Ударом кулака Гордей Евстратыч вышвырнул невестку за дверь, а сам заходил по горнице неровным шагом.

План действий быстро созрел в голове Гордея Евстратыча: подсчитав Михалку по лавке, он взял его к себе, а в лавку опять посадил Аришу. Татьяна Власьевна боялась грозы, но Гордей Евстратыч обошелся с Михалкой очень милостиво и даже точно не хотел ничего видеть.

— Ты у меня смотри не дури... — коротко заметил Брагин сыну. — Не умел в лавке сидеть, так, может, у меня на глазах лучше будешь, а то мы с Архипом совсем замаялись.

Бедная Ариша, как и другие, не могла себе

объяснить, зачем Гордей Евстратыч милует Михалку, и вместе с тем отлично понимала, зачем посадили ее опять в лавку. От страха она старалась не думать о будущем и со страхом ждала каждого нового дня. Но и здесь ее ожидания не оправдались: Гордей Евстратыч не заглядывал совсем в лавку, точно совсем забыл о ней, хотя Ариша и не верила этому, подозревая какую-нибудь ловушку. А план Гордея Евстратыча был очень несложен. Володька Пятов болтался в Белоглинском и от нечего делать, наверно, будет шататься в лавку к Арише. Брагину этого только и нужно было, и он не ошибся в своих расчетах. Володька Пятов, воспользовавшись отсутствием своего закадычного друга Михалки, опять принялся ухаживать за Аришей, которой даже бежать от него было некуда. Она сразу очутилась между двух огней. Воспользовавшись таким удобным случаем, Гордей Евстратыч через третьи руки натравил Михалку на жену. Пьяный Михалко, застав в лавке Володьку Пятова, накинулся на жену и отколотил ее всенародно. Скандал вышел страшнейший. Ариша вернулась домой вся в синяках и

далее не искала ни у кого защиты, потому что все равно ей никто не поверил бы, даже родная мать. Дело получило самый щекотливый оборот: Татьяна Власьевна держала сторону Михалки, Агнея Герасимовна только плакала, не смея защищать опозоренную дочь. Дома Михалко, подстрекаемый отцом, еще прибавил жене, не оставив у ней на теле живого местечка.

— Что, не вкусно носить мужнины-то побои? — смеялся Гордей Евстратыч над избитой невесткой. — Я тебя везде достану, змея... Теперь уж все знают, какая у тебя вера-то!.. Ха-ха... А скажи слово — все будет по-твоему.

Ариша молчала, не желая сказать «слова». Это был вызов на отчаянную борьбу, и Гордей Евстратыч еще сильнее привязывался к неподдававшейся невестке. Чтобы окончательно доконать ее, он с дьявольской изобретательностью напустил на Аришу сладкогласного о. Крискента, который должен был обратить заблудшую душу на путь истины.

Не добившись цели одним путем, Брагин пустил в ход другую политику: он начал везде таскать за собою Михалку и свел его с такой

компанией, где тот совсем закружился. Гордей Евстратыч делал вид, что ничего не замечает, и относился к сыну с небывалой нежностью, и только одна Ариша понимала истинную цену этой отцовской нежности: отец хотел погубить сына, чтобы этим путем добиться своего. Дело кончилось тем, что Михалко начал пить формальным запоем, как пил Зотушка, и в пьяном виде выкидывал всевозможные безобразия. А Гордей Евстратыч нарочно посылал его в город на целые недели с разными поручениями и не жалел денег, чтобы Михалко пожил в свою долю в настоящей компании. Скоро до Белоглинского завода дошли слухи о подвигах Михалки в городе, где он безобразничал напропалую, и только один Гордей Евстратыч не хотел ничего знать. Даже когда Татьяна Власьевна келейно передала ему эти слухи, он только улыбнулся и проговорил:

— Вздор, мамынька... Мало ли про нас что болтают с зависти! Всех не переслушаешь, мамынька.

— Вот каков у тебя муженек-то! — рассказывал Гордей Евстратыч безответной Арише

о подвигах Михалки. — А мне тебя жаль, Ариша... Совсем напрасно ты бедуешь с этим дураком. Я его за делом посылаю в город, а он там от арфисток не отходит. Уж не знаю, что и делать с вами! Выкинуть на улицу, так ведь с голоду подохнете вместе и со своим щенком.

Ариша как-то тупо отмалчивалась и даже не плакала.

Наступившее Рождество прошло очень невесело в брагинском доме, хотя Колобовы и Савины бывали в нем для порядку. Всем было тяжело, а всех тяжелее Арише, которая видела кругом себя общее недоверие и самые несправедливые подозрения. Конечно, Михалко пьянствовал от худой жены — вот общий приговор, который разделялся всеми. От хороших жен мужья не бегут к арфисткам... Даже приехавший Владимир Петрович, которому были все рады, точно он мог избавить брагинский дом от одолевавших его напастей, — и тот был бессилен. Впрочем, и сам Головинский смотрел не совсем весело и подолгу советовался с Гордеем Евстратычем в своем флигельке. Дело было поставлено и пу-

щено в ход, но Мойша Жареный не дремал и повел усиленную атаку против брагинских кабаков; агенты Жареного добывали какие-то приговоры, открывали кабаки напротив брагинских и отпускали водку не только дешевле, чем у Брагина, но еще в долг. Очевидно, Жареный торговал себе в убыток, чтобы только доконать непрошеных конкурентов.

— Ничего, нужно только теперь потерпеть, — утешал Головинский. — Скоро надоест Жареному понапрасну деньгами сорить... Он хочет нас запугать, а мы свою линию будем выводить.

Эти разговоры в переводе обозначали: денег нужно, милейший Гордей Евстратыч. Но Гордей Евстратыч уперся как бык, потому что от его капитала осталось всего тысяч десять наличными да лавка с панским товаром, — остальное все в несколько месяцев ушло на кабаки, точно это было какое-то чудовище, пожиравшее брагинские деньги с ненасытной прожорливостью.

— У меня больше нет денег, Владимир Петрович, — решительно заявил Брагин своему компаньону.

— Значит, мы пустим все дело ко дну...

— Уж как Господь укажет... У Жареного миллионы, за ним не угоняешься.

— Можно и без денег обойтись, Гордей Евстратыч. Укажите мне хоть одно коммерческое предприятие, где все дело велось бы на наличные? Так и мы с вами сделаем: за кредитом дело не станет. Только выдайте мне специальную доверенность, а там уж я все дело устрою.

Гордей Евстратыч крепко задумался: с одной стороны — бросай все дело, с другой — залезай в долги, как другие коммерсанты. Посоветовался с мамынькой. Татьяна Власьевна успокаивала тем, что уж ежели Владимир Петрович советует, так, значит, дело верное и т. д. Самого Гордея Евстратыча сильно подмывало желание потягаться с Жареным и показать ему свою силу. После некоторого колебания Брагин выдал доверенность Головинскому, с которой тот и укатил в город. Может быть, последнего Гордей Евстратыч и не сделал бы, если бы у него на уме не было своей заботы, которая не давала ему покоя ни днем ни ночью, и он все время бродил точно в ту-

мане.

Глава 21

Как-то после Рождества, однажды вечером, Татьяне Власьевне особенно долго не спалось. Старое семидесятилетнее тело сильно тосковало, старуха никак не могла укласть свои кости поспокойнее и все к чему-то точно прислушивалась. Ночь была ясная, месячная, морозная. Слышно было, как на улице скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Пропели вторые петухи, когда Татьяна Власьевна начала забываться, но этот тревожный сон был нарушен каким-то подавленным стоном. Вскочив с постели, Татьяна Власьевна бросилась к Нюше, но та спала ровным, спокойным сном, раскинув руки на подушке; старуха торопливо принялась крестить внучку, но в это время подозрительный звук повторился. Он походил на то, если бы человек усиливался крикнуть с крепко сжатым ртом. Теперь Татьяна Власьевна ясно расслушала, что этот звук донесся из каморки Ариши, где она спала одна с

своим Степушкой. Первой мыслью старухи было то, что это непременно забрался к ним Володька Пятов, которого она видела третьего дня. Как была, на босу ногу, Татьяна Власьевна пошла к Аришиной каморке, захватив на всякий случай спичек; она никого не боялась и готова была вытащить Володьку за волосы. Когда она уже была в нескольких шагах от Аришиной каморки, там послышалась какая-то глухая борьба. Чиркнув наскоро спичкой о стену, Татьяна Власьевна остановилась в дверях этой каморки и с ужасом отступила назад: колеблющийся синеватый огонек разгоравшейся серянки выхватил из темноты страшную картину боровшихся двух человеческих фигур... Это была Ариша с разбитыми волосами и побагровевшим от напряжения лицом, на котором еще оставались белыми пятнами следы от чьих-то железных пальцев. Ее за руки держал Гордей Евстратыч, весь багровый, с трясшимися губами. Увидав мать, Гордей Евстратыч бросился в дверь. По дороге он сильно толкнул мать и сейчас же заперся в своей горнице.

— Что же ты не кричала? — спрашивала

Татьяна Власьевна, когда немного пришла в себя.

— Я кричала… он мне рот зажимал… — ответила Ариша.

У Ариши еще стояли в ушах страшные слова Гордея Евстратыча: «Ты у меня, змея, попомни Кокина… слышишь?» Это того Кокина, который зарезал родную внучку.

— Бабушка, он убьет Степушку… — прошептала Ариша и тихо заплакала.

Сдержанные рыдания матери заставили ребенка проснуться, и, взглянув на мать и на стоявшую в дверях с зажженной восковой свечой бабушку, ребенок тоже заплакал. Этот ребячий плач окончательно отрезвил Татьяну Власьевну, и она, держась рукой за стену, отправилась к горнице Гордея Евстратыча, который сначала не откликался на ее зов, а потом отворил ей дверь.

— Ты не глуми, мамынька… — говорил он в ответ на слезы и упреки матери. — Надо сперва еще разобрать дело-то. Может, тогда другое заговоришь. Ариша-то…

— Врешь!.. Врешь!.. Побойся Бога-то…

— Ей-богу, мамынька!

Старики ссорились часа два, а когда Татьяна Власьевна пошла к себе в комнаты, каморка Ариши была уже пуста: схватив своего Степушку и накинув на плечи Нюшину заячью шубейку, она в одних башмаках на босу ногу убежала из брагинского дома. Ясное дело, что она пошла к своим и там все разболтает сейчас же. Дело получит огласку и покроет позором всю брагинскую семью... А может, Ариша побежала топиться? Через пять минут Татьяна Власьевна, задыхаясь, бежала к колобовскому дому, не чувствуя тридцатиградусного холода, щипавшего ей лицо и руки. Завидев издали промигивавший сквозь ледяную мглу морозной ночи огонек в нижнем этаже колобовского дома, Татьяна Власьевна перекрестилась: Ариша была дома. Чтобы окончательно увериться в этом, старуха добрела до самого колобовского дома и сквозь щель в ставне увидела Аришу, которая рассказывала все Самойлу Михеичу и Агнее Герасимовне. Все было кончено... Теперь уже никакими силами не остановить худой славы, которая молнией облетит вместе с зарей весь Белоглинский завод; теперь нельзя будет и носу

никуда показать, все будут указывать пальцами... Что будет с Нюшей после такой славы? Что будут делать Михалко и Архип?.. Обратно Татьяна Власьевна брела целый час, разбитая, уничтоженная, огорченная; она не чувствовала своих старых слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же стывших на воротнике шубы. Срам, стыд, позор... И кто же все это наделал? Милушка, Гордей Евстратыч...

Дома Татьяна Власьевна застала всех вставшими. Дуня с маленькой Таней забралась к Нюше в комнату, и они заперлись даже на замок со страху. Ворота были отворены, в горнице Гордея Евстратыча было темно и тихо, как в могиле. Завидев бледную, посиневшую бабушку, Нюша и Дуня разревелись; они уже узнали, что Ариша убежала и отчего она убежала. Татьяна Власьевна, не раздеваясь, бессильно опустилась на первый стул и, закрыв глаза, сидела неподвижно, как статуя. Нюша боялась спросить ее, где Ариша и что с ней. Так они втроем просидели в одной комнате вплоть до свету, когда Маланья прибежала сказать, что приехал Самойло Михеич.

— Не надо... не пускай, — проговорила Та-

тьяна Власьевна, точно просыпаясь от своего раздумья.

Самойло Михеич долго стучался в ворота, грозил судом и проклинал Гордея Евстратыча на чем свет стоит. В окнах пазухинского дома мелькали любопытные лица; останавливались прохожие; двое мальчишек, перескакивая с ноги на ногу, указывали пальцами на окна брагинского дома.

— Выходи, снохач!.. Я с тобой рассчитаюсь сейчас же!.. — кричал неистово Самойло Михеич. — Эй, Гордей Евстратыч, что спрятался?..

Расходившийся старик колотил кулаками в стену брагинского дома и плевал в окна, но там все было тихо, точно все вымерли. Гордей Евстратыч лежал на своей кровати и вздрагивал при каждом вскрикивании неистовствовавшего свата. Если бы теперь попалась ему под руку Ариша, он ее задушил бы, как котенка.

Через час весь Белоглинский завод уже знал о случившемся. Марфа Петровна успела побывать у Савиных, Пятовых, Шабалиных и даже у о. Крискента и везде наслаждалась ве-

личайшим удовольствием, какое только в состоянии была испытывать: она первая сообщала огромную новость и задыхалась от волнения. Конечно, Марфа Петровна успела при этом кое-что прибавить, кое-что прикрасить, так что скандал в брагинском доме покатился по всему Белоглинскому заводу, как снежный ком, увеличиваясь от собственного движения.

— С ножом бросился на Аришу... вот сейчас провалиться!.. — уверяла у Шабалиных Марфа Петровна. — А она, Ариша-то, как вырвалась от Гордея Евстратыча, так в одной рубахе и прибежала к своим-то... Нарочно ходила к ним и своими глазами видела Аришу: как Гордей Евстратыч душил ее, как у ней и теперь все пять пальцев так и отпечатались на лице. Он и Степушку хотел зарезать, да старуха помешала... А Михалки дома нет, он в городу. И Архип тоже... А как Самойло-то Михеич их срамил утром: «Снохач!»? — так и ревет у ворот, а сам на стены кидается.

У Шабалиных Марфа Петровна услыхала другую, не менее интересную новость, которую ей рассказал сам Вукол Логиныч, имен-

но: что Брагины разорились на кабаках. Шабалин только что вернулся из города, где и слышал эту новость.

— Влетел как кур в ощип! — хохотал Вукол Логиныч. — Вперед наука... Вздумал тягаться с Жареным... Ха-ха!.. Да тут весь наш Белоглинский завод выворотить, так всех наших потрохов недостанет. Это его Головинский отполировал...

Шабалин на этот раз не лгал. Действительно, Гордей Евстратыч сейчас после удаления ругавшегося старика Колобова получил от Головинского такую телеграмму: «Нужно пятьдесят тысяч. Иначе мы погибли». Достать такую сумму нечего было и думать, и Гордей Евстратыч понял, что он теперь разорился в пух и прах. Он показал телеграмму матери и торопливо начал одеваться.

— Ты куда? — сурово спрашивала Татьяна Власьевна.

— В город, мамынька... — коротко ответил Гордей Евстратыч, натягивая в рукава оленью доху. — Надо... не знаю, ничего не знаю, мамынька... мы разорились... Прощай, мамынька... Береги Нюшу...

Даже не простившись с дочерью, Брагин вышел из комнаты и в сенях лицом к лицу встретился с Матреной Ильиничной, которая испуганно отшатнулась от него, как от зачумленного. Они постояли друг против друга несколько мгновений. Потом Гордей Евстратыч бросился во двор и торопливо вышел на улицу. Он пошел прямо к знакомому ямщику, велел заложить лучшую тройку и через полчаса был на дороге в город. Шел легкий снежок, мороз быстро спадал, ямщик лихо правил тройкой, которая быстро неслась по избитой ступеньками широкой дороге, обгоняя попадавшиеся обозы. Гордей Евстратыч лежал в кошевой на охапке сена и безучастно смотрел по сторонам, точно человек, который медленно и тяжело просыпался после сильного хлороформирования. За ним гнались страшные тени и призраки. Мертвая Феня, какой он видел ее в последний раз в гробу, отчаянно защищавшаяся Ариша, плакавшая в своей горенке Нюша, убитая горем мамынька с ее посиневшим страшным лицом.

В это время в брагинском доме происходила такая сцена. Матрена Ильинична сидела в

комнате Татьяны Власьевны, не снимая шубы, и говорила своей сватье:

— Я пришла за Дуней, Татьяна Власьевна...

— Не пущу, — коротко ответила Татьяна Власьевна.

— Пустишь... Вы тут снох режете, а мы будем на вас глядеть. Есть и на вас суд, сватья...

— Все-таки не пущу. У Дуни есть муж, это его дело... Гордей Евстратыч уехал в город, я не могу без него.

— Силком уведу, ежели добром не отдашь.

— А суд?

— И суд будем судить... Найдем и на вас управу. Снохачей-то и на суде не похвалят. Дуняша, оболокайся...

— Дуня, не смей, а то прокляну.

— Дуня, оболокайся, пусть клянет: грех на моей душе...

Старухи повздорили и сильно разгорячились.

— Ариша напраслиной обнесла Гордея Евстратыча... — говорила Татьяна Власьевна. — Перед Богом ответит.

— Ладно, ладно... Будет вам снох-то тиранить. Кто Володьку-то Пятова к Арише под-

вел? Кто Михалку наущал жену колотить? Кто спаивал Михалку? Это все ваших рук дело с Гордеем Евстратычем... Вишь, как забили бабенку! Разве у добрых людей глаз нет... Дуняша, оболокайся!.. А то я сейчас в волость пойду или станового приведу... Душу-то христианскую тоже не дадим губить.

Татьяна Власьевна испугалась станового и покорилась. Дуня на скорую руку оделась во что попало, закутала маленькую Таню в шубу и ушла за матерью. У ворот их дожидалась лошадь. В брагинском дому осталась теперь только Татьяна Власьевна с Нюшей да кривая Маланья, которая выла и голосила в своей кухне, как по покойнике. Нюша сидела с ногами на своей кровати и, казалось, ничего не понимала, что творилось кругом; она была свидетельницей крупного разговора споривших старух и теперь даже не могла плакать. Ей тоже хотелось бежать из этого проклятого дома, но куда?!.. Девушка боялась даже бабушки, которая ходила по комнатам как помешанная и торопливо прибирала все в сундуки, щелкая замками.

— Нюша... где ты? — спрашивала Татьяна

Власьевна, вспомнив о внучке.

— Я здесь, бабушка...

— Чего ты смотришь: прибирай скорее!.. — заворчала на нее Татьяна Власьевна, сваливая на руки Нюши ворох снятых скатертей, из которых выкатились на пол два медных подсвечника. — Да поворачивайся... Чего ты глаза-то вытаращила?

Нюша машинально подобрала валившиеся из рук скатерти и продолжала смотреть на бабушку испуганными остановившимися глазами. Татьяна Власьевна только теперь догадалась, что Нюша слышала весь разговор Матрены Ильиничны.

— Нюша, что с тобой, милушка?..

— Бабушка... родимая...

Нюша с рыданиями повалилась на свою постель, обхватив обеими руками сунутые ей бабушкой скатерти. Но это молодое горе не в состоянии было тронуть Татьяны Власьевны, и старуха уверенно проговорила:

— Не верь, милушка, никому не верь... Зря все болтают, а с Ариши взыщет Господь за напраслину.

— Бабушка, да ведь недаром же Ариша-то

убежала ночью?..

— Со злости убежала она, со злости, милушка... И всех нас напраслиной обнесла, за наше-то добро.

Татьяна Власьевна теперь сама верила своим словам и тому, что ей говорил Гордей Евстратыч об Арише. Конечно, она его затащила к себе в каморку, а потом нарочно закричала, чтобы показать свекра снохачом: этим и хотела покрыть свой грех с Володькой Пятовым. Хитра змея... Чем дольше думала в этом направлении сходившая с ума старуха, тем она сильнее убеждалась в правоте напрасно обнесенного сына. Статошное ли дело, чтобы Гордей Евстратыч стал заниматься такими мерзостями... Конечно, его подвела Ариша, а Аришу научили другие, те же Пазухины. Им это на руку... Гляди-ка, как поднялся даве Самойло-то Михеич, чуть зубами не грызет ворота, а сам кругом виноват — вырастил дочь-потаскушку.

Этот ряд мыслей парализовался известием о разорении. Татьяна Власьевна плохо поняла в первую минуту значение этого страшного слова, и только теперь оно представилось ей

во всей своей реальной обстановке, со всеми подробностями. Едва ли она испугалась бы в такой степени, если бы ей объявили смертный приговор, — тогда погибла бы она одна, а теперь все кругом нее рушилось, и точно даже шатались стены батюшкина дома. Кстати, Татьяна Власьевна припомнила, что на той неделе выпал кирпич из батюшкиной печи и что потом она видела сряду три дня во сне эту печь: печаль и вышла... Уж это всегда так бывает, что печь видят к печали да горю.

— Надо все прибирать... скорее прибирать! — говорила вслух Татьяна Власьевна, торопливо обходя все горницы и собирая все, что попадалось под руку, чтобы спрятать и запереть в сундуки.

Можно было подумать, что старый брагинский дом охвачен огнем и Татьяна Власьевна спасала от разливавшегося пожара последние крохи. Она заставила и Нюшу все прибирать и прятать и боязливо заглядывала в окна, точно боялась, что вот-вот наедут неизвестные враги и разнесут брагинские достатки по перышку. Нюша видела, что бабушка не в своем уме, но ничего не возражала ей и ма-

шинально делала все, что та ее заставляла.

— Гляди-ка, Нюша, ведь это у Пазухиных из-за косяка подглядывают за нами, — говорила Татьяна Власьевна. — Марфа Петровна... Этакая злыдня!.. Нюша, милушка, где у нас ложки-то серебряные?

— В шкафу, бабушка...

— Ах, грех какой! Да ведь шкаф-то стеклянный, все видно... Тащи все в сундук, а то как раз...

В открытые сундуки, как на пожаре, без всякого порядка укладывалось теперь все, что попадало под руку: столовое белье, чайная посуда, серебро и даже лампы, которые Гордей Евстратыч недавно привез из города. Скоро сундуки были полны, но Татьяна Власьевна заталкивала под отдувавшуюся крышку еще снятые с мебели чехлы и заставляла Нюшу давить крышку коленкой и садиться на нее.

— Оно вернее будет, как под замком-то, — говорила Татьяна Власьевна, связывая все ключи на одну веревочку.

Глава 22

Приехав в город, Брагин прежде всего отправился, конечно, к Головинскому, который встретил его с распростертыми объятиями и, подхватив под руку, с соболезнованием говорил:

— Что делать, Гордей Евстратыч... что делать!

— Да ведь вы меня разорили, Владимир Петрович?!.. — сдерживая бешенство, отвечал Брагин. — У меня больше расколотого гроша нет за душой... Понимаете: гроша нет!..

Головинский поднял плечи и брови и, расставив широко ноги, внушительным полуголосом повторил несколько раз одну фразу:

— Я тоже все потерял... Понимаете: решительно все!..

— Да ведь вы обещали мне золотые горы? — уже закричал Брагин, хватаясь за голову. — Вы меня обманули!.. разорили!.. Вы меня со всей семьей пустили по миру...

Брагин тяжело упал в кресло и рванул себя за покрытые сильной проседью волосы. С бешенством расходившегося мужика он осыпал

Головинского упреками и руганью, несколько раз вскакивал с места и начинал подступать к хозяину с сжатыми кулаками. Головинский, скрестив руки на груди, дал полную волю высказаться своему компаньону и только улыбался с огорченным достоинством и пожимал плечами.

— Послушайте, Гордей Евстратыч... Вы напрасно волнуетесь, — мягко заговорил Головинский. — Этим делу не поможешь... Обсудимте лучше все дело хладнокровно. Если бы я действительно был виноват, я бы не был так спокоен... Нечистая совесть всегда скажется. Я даже не сержусь на вас, потому что вы находитесь в таком состоянии, что...

— Нет, я хорошо все понимаю... это разбой!.. дневной грабеж!.. А ты подлец из подлецов...

Сжав побелевшие губы, Гордей Евстратыч, как разъяренный бык, кинулся на Головинского с кулаками, но тот подставил ему стул и, отделенный этим барьером, даже не пробовал защищаться, а только показал своему врагу маленький револьвер. Брагин завизжал от бессильного гнева, как лошадь, которую

дерет медведь; он готов был в клочья разорвать своего спокойного компаньона, если бы не его страшная «оборонка».

— Поговоримте спокойно... — продолжал Головинский, предлагая Гордею Евстратычу стул. — Порядочные люди всегда поймут друг друга, и я надеюсь, что мы не разойдемся врагами.

— Да ты дьявол, что ли?!.. — ревел Гордей Евстратыч на это дружеское приглашение. — Жилы хочешь тянуть из живого человека?!.. Ободрал как липку, а теперь зубы заговаривать... Нет, шабаш, не на таковского напал. Будет нам дураков-то валять, тоже не левой ногой сморкаемся!..

— Успокойтесь, уважаемый Гордей Евстратыч... Это вредно для вашего здоровья... Поговоримте спокойно...

— Я тебе покажу, подлец, спокойно... У!.. стракулист поганый!.. Думаешь, я на тебя суда не найду? Не-ет, найду!.. Последнюю рубаху просужу, а тебя добуду... Спокойно!.. Да я... А-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!.. Где у тебя крест-то?.. Ведь ты всю семью по миру пустил... всех... Теперь ведь глаз

нельзя никуда показать... срам!.. Старуху и ту по миру пустил... Хуже ты разбойника и душегубца, потому что тот хоть разом живота решит и шабаш, а ты... а-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!

Понятное дело, что подобный разговор не мог ни к чему привести, и стороны расстались самым естественным образом, то есть Головинский, при содействии Егора и кучера, вытолкал бушевавшего Гордея Евстратыча из своей квартиры в шею. Выкинутый на улицу Брагин, не помня себя от бешенства, долго неистовствовал у подъезда. Он стучал ногами и кулаками в двери, оторвал от них массивную медную ручку в русском вкусе и так ругался и орал на всю улицу, что перед квартирой Головинского собралась целая толпа любопытного городского люда: кухарки, мальчишки, кучера, чиновник, возвращавшийся со службы, какие-то «молодцы» из лавки и т. д. Все пересмеивались и указывали пальцами на бесновавшегося старика.

— Православные... ограбил, зарезал!.. — кричал Брагин. — Будьте свидетелями... Я судиться буду!.. Я покажу...

Наругавшись досыта, пока не охрип, Гордей Евстратыч сел на извозчика и отправился прямо к адвокату, чтобы не терять дорогого времени. Он вспомнил одного черномазого адвоката из восточных человеков с желтыми глазами, по фамилии Спорцевадзе. Этот Спорцевадзе страшно размахивал руками и обладал красивым голосом, который гудел, как труба. «Вот этого зверя я и напущу на кровопийцу! — с особенным удовольствием думал Гордей Евстратыч, снимая и надевая на себя соболью шапку. — «Спокойно... здоровье испортите...» Я тебе покажу...»

На счастье Брагина, Спорцевадзе оказался дома. Он жил в собственном двухэтажном доме на Соборной площади, с дубовым подъездом и зеркальными стеклами. Швейцар в передней и приличная обстановка приемной произвели успокаивающее впечатление на Гордея Евстратыча, а когда вышел сам Спорцевадзе с своими желтыми глазами — он даже улыбнулся и подумал про себя: «Вот мы этого желтоглазого и напустим на кровопийцу...» Пока Брагин, сбиваясь и путаясь, передавал сущность своего дела, адвокат небреж-

но чистил свои длинные розовые ногти и только изредка взглядывал на клиента, а когда тот кончил, он коротко спросил:

— Так он вас до нитки обчистил?

— В одной рубашке пустил... Вот те истинный Христос!..

Адвокат улыбнулся этой наивной выходке, а потом, не переставая чистить ногтей, проговорил:

— Да, я слышал о вас... Что делать!.. Ловко вас обчистил этот Головинский... И главное, скоро — не тянул. Раньше-то вы чем занимались?

— Торговал панским товаром, ваше благородие.

Спорцевадзе пристально посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и подумал: «Ну, с этого взять нечего: гол как сокол».

— Знаете, что я вам посоветую, — заговорил адвокат после короткой паузы, трогая щеточкой брильянтовый перстень на руке, — я посоветую вам совсем бросить это дело...

— Как бросить?! — вскипел Гордей Евстратыч, опуская руки.

— Да вы садитесь, и поговоримте спокой-

но...

Это «спокойно» резнуло Брагина по сердцу как ножом, но он скрепился и присел к письменному столу.

— Видите ли, какая вещь... — протянул Спорцевадзе, раздвигая ноги, как это делал Владимир Петрович. — Вы дали полную доверенность Головинскому. Да?.. Вот он на основании этой доверенности и нажег вас, а вам с него ничего не взять: дело велось со всеми необходимыми формальностями, так что вам решительно ничего не взять с своего компаньона. Мало ли торговых дел расстраивается, и лопаются не такие компании.

— Да ведь деньги-то, деньги-то мои, ваше благородие!.. Голеньких сто тысяч просадил я...

— И еще просадили бы сто, если бы были. На ловкого человека наткнулись. Ну, да это все равно. Мне, собственно, некогда с вами теперь долго разговаривать, а я дам вам один совет: спасайте последние крохи и займитесь опять своей панской торговлей.

— Да ведь у меня весь капитал уторкан в кабаки!

Спорцевадзе задумался, опять посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и проговорил:

— Да, да... Это верно. Знаете, что я вам посоветую? Вас, собственно, утопил не Головинский, а Жареный... Так?

— А черт их разберет!..

— Нет, это верно. Поэтому, чтобы воротить хотя часть затраченного на кабаки капитала, я советую вам обратиться прямо к Жареному.

— Это к жидовину-то?..

— Успокойтесь, Моисей Моисеич совсем не жид, а грек и притом отличный человек. Он войдет в ваше положение, и, я уверен, даже, может быть, вы с ним устроите какую-нибудь сделку.

— Ну, уж это шабаш!.. Чтобы я пошел к жидовину — ни в жисть... Вот сейчас провалиться на этом самом месте!..

— Как знаете. Наша обязанность дать совет, а там уже ваше дело. Вы напрасно так предубеждены против Моисея Моисеича, — это отличный человек, и я уверен...

«Врешь, желтоглазый! Хочешь меня еще запятить к жидовину: ни в жисть!» — думал

Гордей Евстратыч, выходя от адвоката.

От Спорцевадзе Брагин отправился к другому адвокату, от другого к третьему — но везде совет был один, точно все эти шельмы сговорились: так в один голос и режут. Дело выходило самое распоследнее. «Что же вы ко мне раньше не обратились!» — говорили адвокаты, завидуя хватившему куш Головинскому. И все посылают к Жареному... Это к тому самому Жареному, который пустил Брагина по миру! Гордей Евстратыч сначала не мог даже думать о таком унижении и готов был расколоться на несколько частей, только бы не идти к распроклятому «жидовину».

Только обойдя всех адвокатов, Брагин вспомнил, что Михалко и Архип были в городе, и отправился их разыскивать. Брагины всегда останавливались в гостинице с номерами для господ проезжающих, и отыскать их Гордею Евстратычу было нетрудно. Михалко был дома, но спал пьяный, а Архип оказался в больнице.

— Зачем в больнице? — спрашивал Брагин вытягивавшегося пред ним лакея с салфеткой под мышкой. — Болен?

— А так-с... не то чтобы больны, а в этом роде.

— Да говори толком, окаянная душа.

— Гм... У Архипа Гордеича такая уж болезнь, так они теперь пользуются у дохтура.

Известие о «такой болезни» Архипа переполнило чашу, и Гордей Евстратыч не знал дальше, что ему делать, предпринять, даже что думать. В голове у него все вертелось и прыгало, как в испорченной машине, которую нельзя даже остановить. Здесь, в этом грязном трактирном номере, стены которого были пропитаны запахом водки, пива и табачного дыма, он теперь сидел как оглушенный. Где-то щелкали бильярдные шары, в соседнем номере распевал чей-то надтреснутый женский голос бравурную шансонетку, а Гордей Евстратыч смотрел кругом — на спавшего на диване Михалку, на пестрые обои, на грязные захватанные драпировки, на торчавшего у дверей лакея с салфеткой, и думал — нет, не думал, а снова переживал целый ворох разорванных в клочья чувств и впечатлений. Мертвая Феня, убежавшая чуть не в одной рубашке Ариша, таявшая как свеча Нюша, пья-

ный Михалко, Архип с своей болезнью, Владимир Петрович с его «успокойтесь», адвокат Спорцевадзе, а там жидовин Мойша Жареный и позор, позор, позор... Что будет с Нюшей? Теперь и Пазухины глядеть на нее не захотят — потому как взять девку из разоренного дома?

— Не прикажете ли чего-с?.. — спрашивал лакей.

— Как ты сказал?

— Говорю, не прикажете ли насчет водки...

— А-а... Ну, давай водки, графин водки... — точно про себя повторял Брагин и, улыбнувшись горькой улыбкой, прибавил про себя: «Чем ушибся, тем и лечись».

Выпив хороший графин водки, Гордей Евстратыч уснул тут же в номере, положив голову на стол. Он проспал чуть не двенадцать часов, а когда проснулся и немного пришел в себя, опять принялся обдумывать, что ему делать. К адвокатам идти было незачем. Подкрепившись двумя рюмками очищенной, Брагин решился сходить к знакомым золотопромышленникам: авось что присоветуют. Ум хорошо, два лучше того. Был у него один

знакомый старик-золотопромышленник, по фамилии Колосов, из раскольников. Вот к нему Брагин и отправился за советом; кстати, у этого старика были свои дела с Жареным, — может, словечко и замолвит по старой дружбе пред жидовином. Старик-раскольник, убеленный серебряной сединой, отнесся к несчастью Брагина с большим участием и долго качал головой.

— Плохо, плохо, Гордей Евстратыч, — говорил Колосов, разглаживая свою окладистую седую бороду. — Эк тебя угораздило с этими кабаками... Уж и времена только!.. С живого кожу сдерут. А только Спорцевадзе тебе правильно посоветовал. Надо будет толкнуться к Мосею Мосеичу, не выгорит ли что-нибудь. Пожалуй, дам тебе писульку на всякий случай.

— А без жидовина невозможно?

— Нет, нельзя... Силища этот Мосей Мосеич, его не обойдешь, как суженого. Может, и смилуется. Ох, только у всех этих иноплеменцев трудно вывертываться... Ну, да уж делать нечего, попытайся.

Взял Гордей Евстратыч от Колосова его пи-

сульку и с ней отправился пытать счастья к жидовину. Но добраться до Мойши Жареного было не так-то легко, как он думал. Этот кабацкий король являлся в город только по временам, а настоящую резиденцию имел на своих винных заводах, куда Брагин и отправился, хотя конец был немалый, верст в двести, пожалуй, не укладешь.

Моисей Жареный жил настоящим королем в своем поместье Бурнаши, которое расположено было на западном склоне Урала, где берут свое начало живописные притоки реки Белой. Это край той цветущей Башкирии, которую расхитили уфимские чиновники. Жареный купил свое именье от одного из таких счастливцев, которому досталось на долю до тридцати тысяч богатейшей земли. Чиновнику, а в особенности русскому чиновнику, земля то же, что слепому грамота, поэтому уфимские чиновники размотали свои наделы за четверть цены. Бурнаши славились своим красивым местоположением и целой сетью горных речек, которые бороздили башкирский чернозем. Когда-то башкиры здесь кочевали со своими кошами, а теперь дымились

винокуренные заводы и кипела самая оживленная деятельность, превратившая жалкую деревушку Бурнаши в маленький городок, кишмя кишевший греками, армянами, евреями и тому подобным людом, ютившимся около своего патрона. Издали можно было залюбоваться на бойкую картину, какую представляли Бурнаши даже зимой. Каменные дома, заводские постройки, ряды новых крестьянских изб — все говорило о новой жизни и новых людях. Недавняя пустыня точно проснулась под влиянием новой «цивилизации». Когда Брагин подъехал на почтовой тройке к селу светлым весенним деньком, он невольно залюбовался. Снег уже осел и спекся в рыхлую, пропитанную водой массу; дорога почернела, в воздухе пахло обновляющей вся и все силой. Лес казался зеленее, но это был не тот дремучий лес, какой рос зеленой стеной около Белоглинского завода и на Смородинке: ели были пушистее, сосны ниже и развилистее, попадались березняки и осинники целыми островами.

Глядя кругом, Гордей Евстратыч невольно вспомнил про свою Смородинку, которая те-

перь стояла без всякого дела: старик еще раз пережил нанесенную ему Порфиром Порфирычем обиду и тяжело вздохнул. Эх, воротить бы прииск, не поехал бы он с повинной к этому жидовину с писулькой Колосова! Но пролитого не воротишь... А вон и первые избушки бурнашевских мужиков, вон и светленькие, с иголочки новенькие деревянные домики разных приспешников Жареного, вон и каменный дом самого Мосея Мосеича. Брагин сотворил про себя молитву и велел ехать на постоялый двор.

Добраться до Мосея Мосеича в Бурнашах было еще труднее, чем в городе, потому что нужно было пролезть через живую стену из самых отчаянных искариотов, смотреть-то на которых Гордею Евстратычу было тошным-тошнехонько. И каждая шельма оглядывает с ног до головы да выспрашивает: чей? откуда? по какому делу? и т. д. А потом окажется, что он не может провести к Мосею Мосеичу, надо спросить набольшего, а у набольшего еще набольший — целая лестница... Ходил-ходил старик по служащим, — все смотрят подозрительно и косятся, точно в чужое

государство приехал, лопочут по-своему, ничего не разберешь. У Гордея Евстратыча воротило на душе от этих церемоний, и не раз ему хотелось плюнуть на все, даже на самого Мосея Мосеича, а потом укатить в свой Белоглинский завод, в Старую Кедровскую улицу, где стоит батюшкин дом. Но делать было нечего: привела Маркушкина жилка Гордея Евстратыча в чужую дальнюю сторону, надо как ни на есть выпутываться из беды, как советовали адвокаты и старый Колосов.

«Уж если так галаганятся служащие, так сам-то Мосей Мосеич что сделает со мной? — не раз думал Брагин, почесывая в затылке. — Ах, пес их задери совсем!..»

В Бурнашах Гордей Евстратыч проболтался целых три дня, прежде чем выхлопотал себе у самого набольшего аудиенцию Мосея Мосеича. Принарядился Брагин в свое модное платье, которое привез из Нижнего, расправил подстриженную бороду и скрепя сердце отправился в гнездо к самому жидовину, Мосею Мосеичу. Аудиенция была назначена по белоглинскому времени в обед, то есть в двенадцать часов дня. К парадным дверям, швейца-

рам и разным антре Гордей Евстратыч уже успел порядком привыкнуть, пока шатался по городским адвокатам, поэтому даже удивился, что и передняя, и приемная у Мосея Мосеича были гораздо попроще, чем у Спорцевадзе. Швейцар вызвал лакея, лакей доложил барину; провели гостя в самый кабинет к Мосею Мосеичу. Навстречу Брагину из орехового кресла поднялся шустрый красивый старик с седыми длинными усами и ласково заговорил.

— Гордей Евстратыч Брагин? Да? Слышал... Очень приятно познакомиться. Вот сюда садитесь... Или нет, пойдемте сначала кофе пить.

Брагин вспомнил, как в первый раз пил кофе у Головинского, и, набравшись смелости, проговорил:

— Уж какие нам кофеи, Мосей Мосеич... Я вот насчет дельца своего к вам. Не задержать бы вас своими пустяками... Куда уж нам, мужикам, кофеи распивать.

— У меня в доме все равны, — мягко заметил Жареный, прищуривая свои ласковые темные глаза, глядевшие насквозь. — Пой-

демте. Знаете русскую пословицу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»?

Жареный был бодрый, хорошо сохранившийся старик с таким приветливым, умным лицом. Брагин чувствовал, что он теперь нисколько не боится этого жидовина Мосея Мосеича, который куда как приветливее и обходительнее своих набольших. И одет был Жареный простенько, по-домашнему, гораздо проще, чем одевался в Белоглинском какой-нибудь Вукол Шабалин. Он провел гостя через ряд парадных комнат в светлую столовую, где за накрытым столом уж сидели две дамы, какой-то мальчик и тот самый набольший, который устроил это свидание. Жареный отрекомендовал гостя дамам и сам усадил его на стул рядом с собой. Такое внимание жидовина даже обескуражило Гордея Евстратыча, особенно по сравнению с тем приемом, какой ему делал Порфир Порфирыч или Завиваев. Пока пили кофе, Жареный говорил за четверых и все обращался к гостю, так что под конец Гордею Евстратычу сделалось совсем совестно: он и сидеть-то по-образованному не умеет, не то что разговоры водить, осо-

бенно при дамах, которые по-своему все о чем-то переговаривались.

— Я давно слышал о вас и рад с вами познакомиться, — не унимался Мосей Мосеич. — Как-то мы с вами не встречались нигде. Я, кажется, от старика Колосова слыхал о вас... Да. Отличный старик, я его очень люблю, как вообще люблю всех русских людей.

Писульку Колосова Гордей Евстратыч передал самому набольшему еще раньше. Этот самый набольший очень не по душе пришелся Брагину: черт его знает, что за человек — финтит-финтит, а толку все нет. И глаза у него какие-то мышиные, и сам точно все чего-то боится и постоянно оглядывается по сторонам. За столом самый набольший почти ничего не говорил, а только слушал Мосея Мосеича, да и слушал-то по-мышиному: насторожит уши и глядит прямо в рот к Мосеичу, точно вскочить туда хочет. Брагин думал, что после кофе они пойдут в кабинет и он там все обскажет Жареному про свое дело, зачем приехал в Бурнаши; но вышло не так: из-за стола Жареный повел гостя не в кабинет, а в завод, куда ходил в это время каждый день.

Он держал себя, как и раньше, вежливо и предупредительно, объясняя и показывая все, что попадалось интересного. Обошли целый винный завод; побывали в том отделении, где очищали водку, и даже забрались в громадный подвал с рядом совсем готовых бочек, лежавших, как стадо откормленных на убой свиней. Гордей Евстратыч в первый раз был на винном заводе и в первый раз видел все процессы, как из ржи получалось зелено вино. Чаны с заторами, перегонные кубы, дистилляторы, бочки — везде была эта проклятая водка, которая окончательно погубила Брагина и которая погубит еще столько людей.

— Мы зайдем еще на конюшню, Гордей Евстратыч, — предлагал Жареный. — Да вы не устали ли? Будьте откровенны. Я ведь привык к работе...

— Нет, что вы, Мосей Мосеич, какое устал!..

— Мне хочется показать вам все свое хозяйство. Знаете, слабость у меня, старика... Извините уж.

Лошади у Жареного были все на подбор:

целый завод, все тысячные рысаки. Даже Гордей Евстратыч залюбовался двумя вороными жеребчиками: куда почище будут шабалинского серого.

— А теперь о деле побеседуем, — говорил Жареный, направляясь к дому. — Пока говорим, и обед поспеет.

Обхождение Мосея Мосеича, его приветливость и внимание заронили в душу Брагина луч надежды: авось и его дельце выгорит... Да просто сказать, не захочет марать рук об него этот Мосей Мосеич. Что ему эти двенадцать кабаков — плюнуть да растереть. Наверно, это все Головинский наврал про Жареного. Когда они вернулись в кабинет, Брагин подробно рассказал свое дело. Жареный слушал его внимательно и что-то чертил карандашом на листе бумаги.

— Что же вы хотите от меня, Гордей Евстратыч? — спросил Жареный, когда Брагин кончил.

— А я насчет того, Мосей Мосеич, что не будет ли вашей милости насчет моих-то кабаков... Что они вам: плюнуть, и все тут, а мне ведь чистое разоренье, по миру идти остает-

ся. Уж, пожалуйста, Мосей Мосеич...

— Не могу... — сжав плечи, проговорил Жареный. — Нет, не могу. Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше...

Как ни бился Брагин, как ни упрашивал Жареного, даже на коленях хотел его умолять о пощаде, тот остался непреклонен и только в угоду старику Колосову соглашался взять на себя все двенадцать брагинских кабаков, то есть все обзаведение, чтобы не пропадало даром, — конечно, за полцены.

— Куда же вы, Гордей Евстратыч? — удивился Жареный, когда Брагин взялся за шапку. — А обедать?..

Гордей Евстратыч как-то равнодушно посмотрел на Мосея Мосеича, махнул рукой и молча вышел из его кабинета: Жареный показался ему злее самого злого жидовина.

Глава 23

Домой, в Белоглинский завод, Гордей Евстратыч вернулся почти ни с чем, исключая своей сделки с Жареным, которая могла в результате дать тысячи три-четыре. Михалко приехал вместе с отцом, а Архип остался в городе «пользоваться» от своей болезни. Об убеге Ариши рассказала Михалке сама Татьяна Власьевна с необходимыми пояснениями и прибавками, причем оказалось, что бабенку расстраивали родные, вот она и придумала штуку.

— Мы ее через полицию вытребуем, мамынька, — решил Гордей Евстратыч. — Михалко подаст заявление, и конец тому делу.

— А Дуня где? — спрашивал Михалко.

— Она погостить отпросилась к своим, да что-то прихворнула там... — лгала Татьяна Власьевна с самым благочестивым намерением. — Архип-то скоро приедет?

— Там дельце одно осталось, так он с ним позамешкался малость, — обманывал в свою очередь Гордей Евстратыч, не моргнув глазом. — Надо нам развязаться с этим трекля-

тым городом... Ну а мы Аришу-то подтянем, ежели она добра нашего не хочет чувствовать.

В брагинском доме теперь было особенно скучно и мертвенно, точно в доме был покойник. Всем чего-то недоставало, и всех что-то давило, как кошмар. Невестки, казалось, унесли с собой последнюю каплю того довольства и спокойствия, какое остается даже в разоренных домах. Разложение шло зараз извне и изнутри, и разрушающее действие этого процесса чувствовалось одинаково всеми, хотя Гордей Евстратыч и бодрился и сам сел торговать в батюшкину лавку. Он теперь был занят главным образом планом того, как добыть Аришу, и затем, как показать над ней свою родительскую власть. От погрома по винной части у Брагина еще осталось тысяч десять, о которых никто не знал, и на эти деньги он думал понемногу поправиться, а там, из-за дела, можно будет подсмотреть какую-нибудь новую штучку. Отведав легкой наживы, старик скучал своей панской торговлей, и его так и тянуло пуститься в какое-нибудь рискованное дело. Недостроенный дом тоже немало

смущал Гордея Евстратыча, точно бельмо на глазу: достраивать нечем, а продать за бесценок жаль. Да и совестно было перед другими, что затеял такую хоромину, а силенки и не прохватило; недостроенный же дом точно говорил всем о разорении недавнего тысячника Брагина.

Эти мысли и планы были нарушены приездом в Белоглинский завод плешивого старичка, который оказался адвокатом Масловым. Этот Маслов отыскал Гордея Евстратыча и предъявил ему целый ворох векселей, отчасти выданных самим Брагиным, а отчасти написанных по его доверенности Головинским. Об этих векселях Гордей Евстратыч как-то даже забыл совсем, а их набралось тысяч на пятнадцать, да притом платежи были срочные — вынь да положь. О переписке векселей старичок-адвокат и слышать не хотел. Положение выходило самое критическое; выбросить адвокату последние десять тысяч — значит живьем отдать себя, потому что, черт его знает, Головинский, может быть, там еще надавал векселей невесть сколько, а если не заплатить, тогда опишут лавку и дом и объявят

банкротом. Думал-думал Гордей Евстратыч и порешил сходить сначала к Шабалину, не выручит ли поручительской подписью на векселях. Но Шабалин отказался наотрез, ссылаясь на крайнее безденежье. Брагин толкнулся еще к двум-трем знакомым толстосумам — то же самое; он даже побывал у Пятова и о. Крискента, но и там тот же самый отказ. Очевидно, его торговый кредит рушился навсегда, и никто больше ему не верил.

— Когда так, то я объявляю себя несостоятельным, а там пусть судят! — решился Гордей Евстратыч на отчаянное средство. — Пусть все описывают...

— Наверно, у вас есть припрятанные денежки про черный день, — усовещивал Маслов, — а то ведь все пойдет с молотка за бесценок...

«Ишь, плешивая собака, носом чует последние денежки и хочет их вытормошить», — думал Брагин и остался при своем решении.

Теперь Гордей Евстратыч боялся всех городских людей как огня и по-своему решился спасти от них последние крохи. Он начисто

объяснил свое положение дел Татьяне Власьевне, а также и то, что адвокаты выжмут из него всеми правдами и неправдами последние денежки, поэтому он лучше отдаст их на сохранение ей: со старухи адвокатам нечего будет сорвать, потому какие у ней могут быть деньги.

— А ты их припрячь, мамынька, да хорошенько припрячь, — учил Гордей Евстратыч, — после пригодятся. На твое имя откроем какую-нибудь торговлишку или на Нюшу. Не все же будем бедовать...

— Да страшно, милушка... У меня этаких денег и в руках отродясь не бывало!

— Ты только спрячь, мамынька, и делу конец. Никому не сказывай...

Татьяна Власьевна взяла деньги, завязала их в узелок и с молитвой запрятала их туда, куда умеют прятать только одни старушки. Но с этими деньгами она взяла на плечи такое бремя, которое окончательно придавило в ней живого человека: старухой овладели какой-то не прерывавшийся ни на минуту страх и подозрение ко всем окружающим. Она даже начала бояться Нюши: не сторожит ли та ее?

Она не знала покоя ни днем ни ночью и даже вздрагивала, когда где-нибудь стукнет. Ценные вещи, как серебро и разные наряды, в ожидании описи Татьяна Власьевна тоже успела попрятать по разным укромным уголочкам. Она теперь походила на мышь, которую в ее собственной норе медленно начинает заливать подступающая вода. Спрятанные сокровища мучили старуху, как мучит преступника его преступление, и она сотни раз передумывала, как бы лучше скрыть от всех глаз свои деньги. Иногда в самую полночь ей вдруг приходило в голову, что она совсем не так спрятала, как следовало бы, и эта мысль гнала ее на двор, где она торопливо перепрятывала заветный узелок с деньгами. Расстроенное воображение рисовало Татьяне Власьевне самые ужасные картины расхищения своих богатств, и она часто просыпалась с холодным потом на лбу. Вместе со страхом росло в старухе чувство старческой жадности. Ей начинало казаться, что она ужасно много тратит денег на себя, и в видах экономии она убавляла поленья дров, нарезывала хлеб к обеду тоненькими ломтиками и походя вор-

чала на кривую Маланью, подозревая ее в тайных замыслах на хозяйское добро.

— Теперь ведь не прежняя пора... — брюзжала Татьяна Власьевна, как давший трещину колокол. — Пожалуй, этак наскрозь проедимся.

— Мамынька, уж ты тово... — замечал иногда Гордей Евстратыч, когда ему надоедало ворчанье старухи. — Прежде смерти не умрем.

— Нет, милушка, так нельзя, без понятия-то. Кабы раньше за ум хватились да не погнались за большим богатством, не то бы было... Вот выгонят из батюшкина дома, тогда куды мы денемся? Не из чего прохарчиваться-то будет уж.

Последствия протеста векселей не замедлили обнаружиться. В Белоглинский завод явился судебный пристав окружного суда и произвел опечатание лавки и всего имущества в брагинском доме; хотя брагинская семья была подготовлена к этому событию, но самый акт, обставленный известными формальностями, произвел на всех самое тяжелое и удручающее впечатление. Этот чинов-

ник в мундире являлся чем-то вроде карающей руки беспощадной судьбы и той нужды, которая в первый раз постучалась в старый батюшкин дом. Красная казенная печать точно отметила собой первые жертвы. Конечно, опечатано было только имущество самого Гордея Евстратыча, а имущество других членов семьи осталось нетронутым, но, во-первых, как было различить это имущество, а во-вторых, при патриархальном строе брагинской семьи, собственно, все принадлежало хозяину, так что на долю сыновей, Нюши и Татьяны Власьевны осталось только одно платье да разный домашний хлам. Знакомые советовали Брагину до описи вывезти свой товар из лавки, а также что было получше в доме, как новая мебель, ковры, посуда и т. п. Но Гордей Евстратыч не захотел так делать, как делают все другие банкроты, и упрямо отвечал на такие советы одной фразой:

— Нет, этого не будет: пусть зорят...

Во время описи он сам помогал приставу и указал на вещи, которые тот хотел не заметить.

— Нет, уж, пожалуйста, все печатайте, что-

бы все форменно было, — говорил Гордей Евстратыч.

Такое поведение особенно огорчало Татьяну Власьевну, хотя она и не смела открыто «перечить» милушке, потому что он, очевидно, что-то держал у себя на уме. Михалко и Нюша присутствовали при этом, тоже относились ко всему как-то безучастно, точно эта опись их совсем не касалась.

— Кажется, все? — спрашивал пристав, когда все вещи были занесены в список и занумерованы.

— Теперь все чисто... — ответил Брагин с каким-то особенным злорадством, точно он радовался описи.

Пристав, толстенький добродушный господин, от души пожалел брагинскую семью, но, конечно, от себя ничем не мог помочь. Татьяна Власьевна, сохраняя исконный завет, угостила чиновника своей стряпней и оставшимися от прежнего богатства закусками и винами; в этом случае она победила одолевавшую ее скупость и на мгновение превратилась в прежнюю тароватую хозяйку, для которой гость составляет нечто священное. Это

добродушие тронуло выпившего чиновника, и он еще раз пожалел, что Гордей Евстратыч не принял некоторых мер для предупреждения описи, как это делают другие.

— Дело житейское, — объяснил он. — Можно было бы любую половину припрятать, а после пригодилось бы про черный день...

— Нет уж, зачем же, ваше благородие, — отвечал Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. — Оно уж одно к одному...

— Как одно к одному?

— А так... Чтобы форменно было, ваше благородие. Зачем добрых людей обманывать.

Чиновник только пожал плечами. Поблагодарив за угощение, он отправился в обратный путь.

Наступившее лето прошло в хлопотах по делу о банкротстве. Приезжали какие-то чиновники из города, проверяли опись, выспрашивали, вынюхивали и отправлялись восвояси. Гордей Евстратыч тоже несколько раз ездил в город, куда его вызывали повесткой из окружного суда. Дело шло быстро к своей законной развязке. В последнюю свою поездку Брагин привез из города Архипа, который

только что был выпущен из больницы: от прежнего красавца-парня осталась одна тень, так что Татьяна Власьевна в первую минуту даже не узнала своего внука. Лицо у Архипа было серое, волоса на голове вылезли, нос куда-то исчез, глаза с опухшими красными веками слезились, как у старика.

— Ну, мамынька, теперь мы совсем чисты будем, — объявил Гордей Евстратыч, — укцион будет... Все по молотку продадут.

Брагин как-то странно относился ко всему происходившему, точно он радовался, что наконец избавится от всех этих вещей с красными печатями, точно они были запятнаны чьей-то кровью. Он жалел только об одном, что все эти передряги мешали ему расправиться настоящим образом с убежавшими невестками, которые и слышать ничего не хотели о возвращении в описанный брагинский дом. Особенно хотелось расправиться старику с Аришей.

— Вот только нам с этим укционом развязаться, — говорил Гордей Евстратыч в своей семье, — а там мы по-свойски расправимся с этими негодницами... На все закон есть, и

каждый человек должен закону покориться: теперь я банкрут — ну, меня с укциону пустят; ты вышла замуж — тебя к мужу приведут. Потому везде закон, и супротив закону ничего не поделаешь... Разве это порядок от законных мужей бегать? Не-ет, мы их добудем и по-свойски разделаемся...

Наступил и день аукциона, о котором за две недели было оповещено печатными объявлениями, расклеенными в волости и на рынке. Одно такое объявление Гордей Евстратыч своими руками прибил на гвоздики к воротной верее. Опять приехал толстенький пристав с своим писарем и остановился прямо в брагинском доме, в Зотушкином флигельке, где год назад квартировал Головинский. Всего какой-нибудь год, и сколько воды утекло за это время... Гордей Евстратыч совсем поседел и часто повторял про себя в каком-то раздумье одну фразу: «Да, чисто разделали вы нас, Владимир Петрович... В полгода все оборудовали!» Это была насмешка над собственной глупостью и простотой, как умеет смеяться только один русский человек, когда он попадет в безвыходное положение.

С раннего утра в день аукциона в брагинском доме со всех сторон сходился народ — одни, с деньгами в кармане, поживиться на чужой счет, другие просто поглядеть. В батюшкиных горницах теперь суетилась густая толпа, с жадным любопытством осматривавшая опечатанные вещи и делавшая им свою оценку. Одни с соболезнованием покачивали головами и жалели, что столько добра за бесценок пойдет, а большинство думало только о себе, облюбовывая что-нибудь подходящее. Народ был все знакомый: заводские служащие, свой брат торговец и прасолы, богатые мастеровые и т. д. Особенно много было женщин, накинувшихся на аукцион, как саранча. Они галдели, как на рынке, смеялись и каждую вещь непременно старались пощупать, не доверяя глазам. В этих глазах светилось столько проснувшейся жадности поживиться чужим добром, захватить в свою долю дешевого товару, — благо никому запрету нет. В числе других шумела и толкалась бойкая Марфа Петровна, успевшая рассказать по десяти раз историю, цену и достоинство каждой вещи, — недаром она столько лет была в этом

доме своим человеком. Гордей Евстратыч ходил тут же, здоровался с знакомыми с деловым видом и показывал назначенные в продажу вещи. Когда явился пристав и сел за столом с молотком в руках, толпа стихла и с напряженным вниманием ловила каждое движение неторопливо распоряжавшегося чиновника.

— Ореховая мебель, новая, малоподержанная, с голубой репсовой обивкой, — читал пристав с казенной интонацией свою опись, поправляя на груди свой значок. — Оценена сорок рублей.

В толпе легкое движение. Кряжистый подрядчик с опухшей физиономией пробирается вперед и накидывает полтину. Его соперником явился заводский надзиратель. После нескольких надбавок мебель, заплаченная сто двадцать рублей, пошла за сорок два с полтиной. В отворенных дверях стояла Татьяна Власьевна и следила за всем происходившим с тупой болью в сердце; она теперь от души ненавидела и надзирателя, и этого подрядчика, который купил мебель за треть цены. За мебелью пошла посуда, на которую с

особенным азартом накинулись женщины, потом платье — шубы, пальто, белье. Эти вещи были проданы чуть не по настоящей цене, бабы брали с бою всякий хлам. Когда очередь дошла до экипажей, лошадей и коров, денежная часть публики опять заволновалась и придвинулась ближе к столу. Все это пошло за бесценок, как на всех аукционах. Кривая Маланья тихо хныкала в своей кухне по пестрой телочке, которую выкармливала, как родную дочь; у Гордея Евстратыча навернулись слезы, когда старый слуга Гнедко, возивший его еще так недавно на Смородинку, достался какому-то мастеровому, который будет наваливать на лошадь сколько влезет, а потом будет бить ее чем попало и в награду поставит на солому. И будет лезть из кожи старый Гнедко, особенно в гололедицу, будет дрожать на морозе где-нибудь у кабака, пока хозяин пьянствует с приятелями.

Скоро из брагинских горниц народ начал отливать, унося с собою купленные вещи. Женщины тащили узлы с платьем, посуду, разный хлам из домашности, а мужчины более тяжелые вещи. Подрядчик мигнул знако-

мым мастеровым, а те весело подхватили ореховую мебель, как перышко, — двое несли диван, остальные — кресла и стулья. Гордей Евстратыч провожал их до дверей и даже поздравил подрядчика с покупочкой.

— У нас уйдет, Гордей Евстратыч, — хрипло ответил подрядчик, надевая на голову картуз. — Когда лавку-то потрошить будете?

— Да, видно, завтра придется...

Гордею Евстратычу совсем было не жаль новых вещей, купленных им во время богачества, но, когда понесли батюшкину старинную мебель и батюшкину чайную посуду, сердце у него дрогнуло. Новые вещи, как новые друзья, наживное дело, а вот старинного, батюшкина добра жаль до смерти, точно каждая щепка приросла к сердцу. Да и как было не жалеть этих старых друзей, с которыми было связано столько дорогих воспоминаний: вон на этом стуле, который волокёт теперь по улице какая-то шустрая бабенка в кумачном платке, батюшка-покойник любил сидеть, а вот те две чашки, которые достались жене плотинного, были подарены покойным кумом... Друзья уходили, а в брагинских комна-

тах, точно после пожара, водворилась печальная пустота, а пол был покрыт сором и следами сотни ног.

На распродажу товаров в лавке народу набралась тьма, так что пробиться к прилавку, за которым стоял пристав с своим молотком, представлялись почти непреодолимые затруднения. Большинство составляли, конечно, женщины, походившие сегодня на сумасшедших, простые бабы и жены служащих в заводе были воодушевлены одними желаниями. У самого прилавка стояла толстая попадья, которую давили со всех сторон, но она стоически выдерживала это испытание и только вытирала платком вспотевшее красное лицо. Бабенки попроще немилосердно работали локтями и даже головой, продираясь вперед, и начинали бойкую ругань между собою, встречая отпор. В числе других были и Матрена Ильинична, и Агнея Герасимовна, и Пелагея Миневна с Марфой Петровной; идти на аукцион в брагинский дом они посовестились и должны были произвести покупки через Марфу Петровну, зато теперь они могли вдосталь отвести душеньку. Панский батюш-

ков товар шел за пятую часть цены, и материю расхватывали штуками: особенно дешево сошли самые дорогие ситцы, шерстяные материи и сукна. Гордей Евстратыч присутствовал на аукционе и все время смотрел, как обезумевшие бабенки рвали батюшкин панский товар; он видел и Матрену Ильиничну, и Агнею Герасимовну, которые набирали лучшие куски. Мелькнуло в толпе знакомое лицо шабалинской Варьки, которая совсем не нуждалась в дешевом товаре, а толкалась просто из любви к искусству. Жажда легкой наживы слила всех женщин в одно громадное целое, жадно глядевшее сотнями горевших глаз и протягивавшее к прилавку сотни хватавших рук, точно это было какое мифическое животное, разрывавшее брагинскую лавку на части. Что-то было страшное и безжалостное в этой толпе, которая с наслаждением разносила чужое богатство.

«Пусть все берут... все начисто!» — думал Гордей Евстратыч, продолжая наблюдать, как из батюшкиной лавки панский товар уплывал широкой пестрой волной.

— Тащите, зорите все, — шептал Брагин и

улыбался страшной озлобленной улыбкой. — Обрадовались... Ха-ха!

Домой он вернулся с аукциона все с той же улыбкой, точно он сделал какое-то неожиданное открытие, которое приятно изумило его самого. Все тлен, все пустяки, и везде ложь, — вот общий вывод, к которому он приходил. Что жаловаться на Головинского или Жареного, когда свои старые дружки все отвернулись от Гордея Евстратыча, как только заслышали о его разорении... А теперь вон послали баб рвать остатки!.. Развязавшись с своим имуществом, Брагин точно почувствовал самого себя лучше, по крайней мере мог видеть бездну мерзостей, которая поглотила его.

— Мамынька, чисто все!.. — объявил матери Гордей Евстратыч и опять засмеялся. — Теперь только новый дом остался один. Его, сказывают, Шабалин присматривает...

Действительно, продажа товара из лавки и домашних вещей едва покрыла только часть долга. Оставалось еще доплатить тысячи две. Чтобы достать эту сумму, объявлены были торги на недостроенный брагинский дом, который на переторжке и остался за Ву-

колом Шабалиным; он стоил Брагину тысяч восемь, а ушел за тысячу восемьсот рублей, причем Шабалин еще хвастался, что этой покупкой хотел вызволить старого благоприятеля. Оставались несчастные двести рублей, для уплаты которых приходилось продавать старый брагинский дом, но уж тут даже у адвоката рука не повернулась, и он позволил Гордею Евстратычу переписать один вексель.

— Теперь чисто, мамынька, — говорил Брагин, когда все эти передряги кончились. — Надо и о себе подумать. Наживали долго, промотали скоро... А греха-то, греха-то, мамынька... Сызнова придется начинать, видно, всю музыку, торговлишку и прочее.

В Гордее Евстратыче под давлением этих испытаний произошла громадная перемена, точно он стряхнул с себя вместе с богатством все одолевавшие его недуги, хотя прежнего Гордея Евстратыча уже не было. Умудренный и просветленный опытом, он все-таки не мог вернуть назад прежнего спокойствия. Самые беспокойные мысли одолевали его; он часто не спал по ночам и подолгу молился в своей горнице. Собственная неправда теперь встала

перед ним с болезненной режущей ясностью; но прошлого не воротить, а впереди было темно, и Гордей Евстратыч точно ждал какой-то новой беды, которая окончательно доконает его, хотя теперь и бед ждать было неоткуда. Раз Брагин позвал к себе в горницу Татьяну Власьевну и спросил ее, куда она спрятала деньги, которые он отдал ей на сохранение.

— Какие деньги, милушка? — удивилась старуха.

— Как какие? А десять тысяч, мамынька...

Татьяна Власьевна сделала удивленное лицо, пожевала своими сухими губами и, разведя руками, кротко проговорила:

— Ты обмолвился, видно, милушка. Никаких я денег от тебя не бирала, окромя как по хозяйству...

— Мамынька, Христос с тобой!.. Да ты припомни: я тебе отдал деньги спрятать, а ты их еще в узелок завязала... Десять тысяч.

— Может, ты Владимиру Петровичу их отдал, а я не упомню, милушка...

Гордей Евстратыч вскочил с места, как ужаленный, и даже пощупал свою голову,

точно сомневался в своем уме. А Татьяна Власьевна стояла такая спокойная, глазом не моргнет, и по-прежнему с изумлением смотрела на сына.

— Да ты шутишь, милушка? Ежели бы у тебя были такие деньги, так не стал бы с укциону все за бесценок спущать...

— Мамынька!.. И ты как все... О господи!.. Мамынька, очнись!..

Несмотря ни на какие уговоры и увещания Гордея Евстратыча, Татьяна Власьевна заперлась на своем и не хотела ни в чем сознаться.

«Это в ней Маркушкино золото заговорило», — подумал Брагин, не веря еще своим глазам.

Он раскрыл рот и что-то хотел сказать матери, но в этот самый момент свалился на пол и только захрипел.

Ночью Гордей Евстратыч умер.

Глава 24

После смерти Гордея Евстратыча брагинский дом совсем опустел и точно замер. Татьяна Власьевна перенесла потерю сына с христианской твердостью и с христианской же твердостью делалась все скупее и скупее, ко всем придиралась, ворчала и брюзжала с утра до ночи, так что на всех нагоняла смертную тоску. Посторонние люди теперь редко заглядывали к Брагиным, да и те, кто приходил, были не рады, потому что Татьяна Власьевна всех одолевала жалобами на свою бедность. Скупость старухи доходила до смешного, так что она всю семью просто сморила голодом. Даже кривая Маланья и та потихоньку ворчала в своей кухне, прожевывая свою корочку черного хлеба, которой ее же и попрекали. С раннего утра Татьяна Власьевна поднималась на ноги и целый день бродила по дому, как тень, точно она все чего-то искала или кого-то поджидала.

— Совсем наша старуха рехнулась, — говорила Маланья, — чего шатуном-то бродит по горницам как зачумленная... Прости ты меня,

Господи!..

Теперь во флигельке опять поселился Зотушка и занялся разным мастерством: стряпал пряники, клеил какие-то коробочки, делал ребятишкам свистульки — все это продавал и деньги сполна отдавал матери. «Источник» пригодился семье в самую трудную минуту и почти один прокармливал семью своими художествами, потому что Михалко и Архип проживались в Белоглинском без всякого дела и вдобавок пьянствовали. Пьяный Михалко каждый раз исправно отправлялся к Колобовым, требовал Аришу и производил какой-нибудь скандал, а раз даже выбил все стекла в окнах. Впрочем, последняя штука была придумана Володькой Пятовым, который тоже болтался теперь в Белоглинском заводе, по обыкновению, без всякого дела и постоянно подбивал Михалку добывать жену, как еще советовал покойный Гордей Евстратыч. Михалко несколько раз ходил в волость и требовал, чтобы привели ему жену силой. Может быть, при самом Гордее Евстратыче и можно было устроить такой «оборот», но теперь волостные только подсмеивались над

ругавшимся Михалкой. Колобовы были люди сильные и влиятельные, и против них идти было трудно. Архип даже не пытался воротить жену и скоро исчез куда-то на прииск, куда его отрекомендовал Шабалин.

Между тем по Белоглинскому заводу ходили самые упорные слухи, что Брагины обанкротились только для видимости, а деньги скрыли и теперь только прикидываются бедными, чтобы отвести глаза. Этому верили даже такие люди, которые слыли самыми обстоятельными и рассудительными. Когда о. Крискента спрашивали об этом щекотливом обстоятельстве, он, застегивая и расстегивая пуговицы своего подрясника, выражался очень уклончиво и говорил больше о том, что Гордей Евстратыч по церкви отсчитался начисто, хотя конечно, и т. д. Главным источником, откуда расходились эти слухи, являлся шабалинский дом. Вукол Логиныч не стеснялся и всем говорил:

— Известная вещь: деньги у старухи, вон она как пришипилась. Ежели бы я до нее имел касательство, так небось все бы отдала. Знаем мы, какая такая ихняя бедность! Побо-

гаче нас будут... Спасенная-то душа не глупее нас с вами, хоть кого проведет. Только понапрасну она деньги сгноит, вот чего жаль.

Варвара Тихоновна вполне разделяла мысли своего сожителя и постоянно настраивала Михалку против бабушки. Этой потерянной женщине нравилось этим путем донимать спасенную душу, отплачивая с лихвой за то презрение, с каким Татьяна Власьевна всегда относилась к «шабалинской наложнице». Михалко с своим другом Володькой Пятовым часто бывали теперь в шабалинском доме, особенно когда не было налицо самого Вукола Логиныча. Варвара Тихоновна не прочь была разыграть роль настоящей хозяйки дома, и она принимала молодых людей с такой же непринужденностью, как и «настоящие дамы», хотя и неоднократно была бита за такое «мотовство» пьяным Вуколом Логинычем. Эти бурные сцены обыкновенно заканчивались примирением, и Варвара Тихоновна еще успевала выпросить себе какой-нибудь ценный подарок, а за синяками и зуботычинами она не гналась, хотя всегда и высказывала очень логично ту мысль, что ведь она не за-

конная жена, чтобы ее полосовать как корову.

— А ты прямо на горло наступи старухе, — учила Михалку Варвара Тихоновна. — Небось отдаст деньги, если прижать ей хвост-то. Чего смотреть ей в зубы-то. Все в голос кричат, что Татьяна Власьевна спрятала деньги. Уж это верно, как в аптеке...

В одно прекрасное утро, после очень веселой ночи в шабалинском доме, Михалко отправился в сопровождении Володьки Пятова к бабушке, чтобы наступить ей на горло. Обоим было с похмелья, а Варвара Тихоновна для пущей бодрости не дала и опохмелиться. Лицо у Михалки было красное и опухшее, глаза налиты кровью, волосы взъерошены; Володька Пятов был не лучше и только ухмылялся в ожидании предстоящего боя со старухой. У него так руки и чесались на всякий скандал, а тем более на такой скандал, в результате которого могли получиться даже деньги. Михалко шел к родительскому дому в угрюмом молчании, потому что побаивался строгой бабушки, которая, чего доброго, еще бок, пожалуй, наколотит. В нем говорило то чувство

инстинктивного страха, которое он усвоил еще с детства к большим. Брагинская семья держалась старинных правил, и большаки не давали потачки молодятнику. Молодые люди, не снимая шапок, ввалились прямо в горницы, где была одна Нюша, и немного замялись для первого разу.

— Нам бы, Анна Гордеевна, бабушку Татьяну повидать... — начал первый Володька Пятов, раскланявшись с девушкой со всяким почтением, как прилично галантерейному молодому человеку.

Нюша сразу заметила по лицам обоих друзей, что они пришли не с добром, и попробовала спасти бабушку тем, что не сказала ее дома.

— Врешь, Нютка!.. — хриплым голосом оборвал ее Михалко, пошатываясь на месте. — Ты заодно с бабушкой-то, а у нас до нее дело есть.

Нюшу из неловкого положения выручила сама бабушка Татьяна, которая в этот момент вошла в горницу. Старуха прищуренными глазами посмотрела на замявшихся при ее появлении молодых людей и сухо спросила

Михалку:

— Ты что это, милушка, спозаранку шары-то налил?[2] От какой это радости пируешь?.. Мы тут без хлеба сидим, а он винище трескает...

— А ты, бабушка Татьяна, не больно тово... — вступился Володька Пятов, чтобы придать бодрости пятившемуся Михалке. — Мы ведь к тебе по делу пришли...

— Какое такое дело у вас может быть, прохвосты вы этакие! — закричала Татьяна Власьевна. — Да я вас в три шеи отсюдова. Вот позову Маланью да кочергой как примусь обихаживать, только щепы полетят.

— А ты, бабушка, в самом деле не больно тово... не шеперься, — заявил с своей стороны Михалко, не желая показать себя трусом пред улыбавшимся приятелем. — Мы насчет денег пришли, тятенька которые оставил... Да! Уж ты как хочешь, а деньги подавай. Верно тебе говорю...

Вместо ответа, Татьяна Власьевна, собрав остатки своих дряхлых сил, не с старческой живостью вцепилась в волоса Михалки обеими руками и принялась его таскать из сторо-

ны в сторону, как бабы вытаскивают из гряды куст картофеля или заматеревшую редьку. Михалко совсем оторопел от такого приема и даже не защищался, а только мотал своей головой, как пойманная на аркан лошадь.

— Бабушка... а ты все-таки подда-ай деньги-то!.. — выкрикивал Михалко, продолжая мотать головой. — Верно тебе говорю... тятенькины ведь деньги-то!..

— Вот тебе тятенькины деньги, непутевая твоя голова!.. Вот тебе тятенькины деньги-то...

Растерявшийся Володька Пятов, привыкший к настоящему галантерейному обращению, стоял разинув рот и даже попятился к дверям, когда Татьяна Власьевна выразила явные признаки непременного желания познакомиться и с его кудрявой шевелюрой.

— Постой, шатун, я и до тебя доберусь!.. — кричала расходившаяся старуха, наступая на Пятова. — Давай-ка сюды свою-то пустую башку, я тебе расчешу кудри-то...

Попытка наступить на горло старухе и добыть от нее тятенькины деньги кончилась тем, что молодые люди обратились наконец в

постыдное бегство, так что даже Нюша хохотала над ними до слез. Через несколько дней Михалко с Пятовым повторили свою попытку, но на этот раз Татьяна Власьевна просто велела Зотушке затворить ворота на запор.

— Подавай тятенькины деньги, старая грымза! — ругался Михалко, стуча в ворота палкой. — Мы тебя ужо так распатроним...

Скандал вышел на всю улицу, и, как в тот раз, когда в брагинские ворота ломился Самойло Михеич, опять в окнах пазухинского дома торчали любопытные лица, и Старая Кедровская улица оглашалась пьяными криками и крупной руганью.

Татьяна Власьевна, собственно, Михалка и Пятова не боялась ни на волос, но ее беспокоило то, что все толкуют о припрятанных тятенькиных деньгах. Значит, подозревают главным образом ее, и поэтому будут следить сотни глаз за каждым ее шагом, а потом, чего доброго, еще подпустят к ней каких-нибудь воров. Старуха тряслась как в лихорадке при одной мысли о возможности потерять свое сокровище и сделалась еще осторожнее и подозрительнее. С другой стороны, ведь про

всех банкротов болтают всегда одно и то же, то есть о спрятанных деньгах, — значит, на такую болтовню и внимания обращать не стоит, благо никто не знал о том, как покойный милушка передавал ей деньги. В видах осторожности Татьяна Власьевна перевела Зотушку из флигелька в батюшкин дом и поместила его рядом с своими горенками; «источник» перетащил за собой все свои художества и разложил их по разным полкам и полочкам, которые умел прилаживать с величайшим искусством. Тут были и птичьи западни, и начатая вязать мережка, и коллекция пищиков и дудочек для приманки птицы, и какие-то разноцветные стеклышки, лежавшие в зеленой коробочке вместе с стальным заржавевшим пером и обломком сургуча, и та всевозможная дрянь, которой обыкновенно набиты карманы ребят. Зотушка и походил на ребенка в своей детской обстановке и по целым часам был занят обдумыванием самых остроумных комбинаций, при помощи которых из окружающей его дряни получались разные мудреные диковинки. Собственно говоря, в своей странной детской ра-

боте старик являлся не ремесленником, а настоящим художником, создававшим постоянно новые формы и переживавшим великие минуты вдохновения и разочарования — эти неизбежные полюсы всякого творчества. Вероятно, в силу своих художественных задатков Зотушка и пил иногда горькую чашу, как это делают и заправские художники.

Перемену в матери и истинные причины такой перемены Зотушка знал и видел раньше других и с тем прозорливым инстинктом, который ему открывал многое. Конечно, у матери были деньги, в этом Зотушка не сомневался, и эти деньги были не батюшкины, а именно от проклятой Маркушкиной жилки, которая всю брагинскую семью загубила. Зотушка знал, что эти деньги появились у матери еще очень недавно и что они ее мучат и денно и нощно.

«Помутила нашу старуху Маркушкина жилка, — раздумывал про себя Зотушка, выстрагивая перочинным ножичком тонкую березовую зелинку для новой клетки. — Еще будет грех с этими деньгами... Фенюшку загубили жилкой, братец Гордей Евстратыч от нее

же ушли в землю, племяши совсем замотались, как чумные телята... Ох-хо-хо!.. Ох, неладно, мамынька, ты удумала!»

Много раз Зотушка думал поговорить с мамынькой по душе, но все откладывал, потому что все равно никакого бы толку из этого разговора не вышло, и Зотушка ограничивался только разными загадками и притчами, которые при случае загадывал старухе. Между прочим, он особенно любил петь в длинные зимние вечера стих об «убогим Лазаре»: пусть, дескать, послушает старуха и мотает себе на ус. Но старуха и не думала слушать пение Зотушки, зато слушала его Нюша — придет с какой-нибудь работой в Зотушкину горенку, сядет в темный уголок и не шевелится, пока Зотушка дребезжащим голосом тянет свой заунывный стих, переливавшийся чисто монашескими мелодиями.

Между Нюшей и Зотушкой быстро установились самые короткие отношения, хотя между собой они разговаривали очень мало. Это было безмолвное соглашение, стороны читали между строк и отлично понимали друг друга. Раньше такого сближения не мог-

ло произойти из-за разницы возрастов, а теперь Нюша, умудренная горем, доросла вдруг до философского воззрения Зотушки на жизнь. И по наружности она мало походила на девушку, а скорее на молодую женщину; высокая, бледная, с тонким лицом, потерявшим девичью округлость линий, с матовой, почти прозрачной кожей, она точно перенесла одну из тех мудреных болезней, которые разом перерождают человека. Особенно хороши были у Нюши глаза — темные, глубокие, блестящие, они точно сделались больше и смотрели таким просветленным тихим взглядом, как у монахини. Даже Зотушка иногда любовался на свою племянницу и от души жалел ее, зачем такая красота вянет и сохнет в разоренном дому, который женихи будут обегать, как чуму.

— Зотушка, спой тот стих, помнишь, про старца? — просила однажды Нюша работавшего дядю.

Зотушка ничего не ответил, а, поискав что-то в своих коробочках, затянул стих, который так любила еще покойная барышня — Феня:

И-идет старец по-о-о до-ро-о-оге-

е!..
Черноризец до по широ-о-окой!..
Навстречу ему сам Господь Бог:
«О чем ты, старче, слезно пла-
чешь?
Да и о чем ты возрыдаешь?» —
«Как мне, старцу, жить да не
плакать:
Одолели меня злые мысли...»

— Я в скиты уйду, Зотушка, — проговорила Нюша, когда стих кончился.

— Погоди, не торопись, голубка... Мало ли что бывает: может, и другие мысли в голове заведутся вместо скитских-то. Не все же нам беду бедовать...

— Нет, Зотушка, я замуж не пойду. На других глядеть тяжело, не то что самой век маяться... Вон какие ноне мужья-то пошли, взять хоть Михалку с Архипом! Везде неправда, да обман, да обида... Бабенок жаль, а ребятишек вдвое.

— Ах, голубка, голубка... Разве Михалко да Архип такие бы были, если бы не подвернулась эта Маркушкина жилка? От нее все, весь грех — все от нее. Вон бабушка-то какая ноне ходит, точно угорелая...

— Зачем ты такие слова говоришь, Зотушка?

— А потому и говорю, что надо такие слова говорить. Разе у меня глаз нет? О-ох, грехи наши, грехи тяжкие!.. Эти деньги для человека все одно что короста или чирей: болеть не болят, а все с ума нейдут.

— У бабушки-то какие деньги? Что ты, Зотушка, Христос с тобой...

— Ну-ну, не прикидывайся... Сама давно, поди, примечаешь, да только молчишь. И я тоже молчу, а тебе скажу.

Действительно, Нюша думала именно так, как говорил Зотушка, хотя боялась в этом признаться даже самой себе и теперь невольно покраснела, как пойманная. Но Зотушка сделал вид, что ничего не замечает, и затянул своего убогого Лазаря, который, покрытый струпьями, лежал у дверей ликовавшего в своих палатах богача.

«Неужели бабушка действительно утаила тятенькины деньги?» — думала девушка, слушая Зотушкин стих.

Вообще в брагинском доме катилась самая мирная жизнь, смахивавшая на монастыр-

скую; скоро все к ней привыкли настолько, что прошлое начало казаться каким-то тяжелым сном. Но это мирное существование скоро было нарушено появлением Алены Евстратьевны, которая перед Рождеством нарочно приехала проведать родных. Она была очень больна последние полгода и поэтому не могла приехать раньше. Первым делом, конечно, Алена Евстратьевна расплакалась и растужилась о покойном братце Гордее Евстратыче и своими причитаниями навела на всех такую тоску, хоть беги вон из дому. Особенно жалилась Алена Евстратьевна над Нюшей и оплакивала ее, как мертвую.

— Что это вы, тетенька, так убиваетесь обо мне, — удивлялась Нюша, — проживем помаленьку с бабушкой.

— А когда бабушка умрет, Нюша, тогда что? Вот то-то и есть... Твое девичье дело, куда ты денешься?.. Молоденькая да хорошенькая — не в монастырь же идти. Ох, не в пору вздумал братец умирать, надо бы тебя было сначала пристроить. Уж так нехорошо, так нехорошо!.. Как услышала я о смерти братца, так у меня сердце кровью и облилось... и

братца-то жаль, а тебя, горюшку, вдвое!.. С этого самого еще пуще расхворалась. Думала, уж и на ноги не встану, а вот Бог еще привел свидеться. Хоть погорюем вместе, все же оно легче. Все ведь, поди, от вас теперь отвернулись? Это уж всегда так бывает: к богатым, как к меду, льнут, а от бедных бегут. А вот своя-то кровь, Нюша, и скажется... Ведь не чужие вы мне, вот я и скрутилась к вам. Дома-то растворено-незамешано, еще еле на ногах брожу, а сама к вам. Все сердечушко изболелось, думаю, хотя погляжу на них. И такая меня тоска взяла, такая тоска.

Алена Евстратьевна навезла из Верхотурья всякого припасу: муки, рыбы, меду, соленых грибов и сушеных ягод. Все это она сейчас же передала матери и скромно заметила, что «ваше теперь сиротское дело, где уж вам взять-то, а я всего и захватила с собой на всякий случай...».

— Спасибо, спасибо, что не забываешь нас, — благодарила Татьяна Власьевна, прибирая кульки, мешочки и бураки с разным припасом. — Наше дело куды какое небогатое, хоть по миру идти, так в ту же пору...

— Что вы, мамынька!.. А я-то на что? Хоть вы на меня прогневались тогда, ну, да я все забыла! Была и моя вина... Думаю, хоть теперь старушку покоить буду.

Татьяна Власьевна была рада неожиданной помощи, но ни одному слову модницы не верила и часто смотрела на нее испытующим оком. Зотушка тоже всполошился и, наговорив моднице колкостей, перебрался в свой флигелек со всем своим мастерством.

— Уж недаром прилетела наша жар-птица, — ворчал старик про себя, приколачивая свои полочки к покосившимся стенам флигелька. — Ишь, как она глазищами-то шмыгает по всему дому... Ох, неладно, больно неладно!.. Какую-нибудь моду привезла опять с собой наша Алена Евстратьевна.

«Наверно, об деньгах наслышалась — вот и пригнала, не пронюхает ли что на свою долю, — соображала Татьяна Власьевна, наблюдая свою модницу. — Только это уж вы, Алена Евстратьевна, даже совсем напрасно беспокоились...»

Сама Алена Евстратьевна и виду не показывала, что замечает что-нибудь, и только

все льнула к Нюше и так обошла своими ласковыми речами девку, что та поверила и ее горю по братце, и слезам, и жалобным словам, какие умела говорить модница. Бабушка Татьяна была стара для Нюши, притом постоянно ворчала да охала; Зотушка был какой ни на есть мужчина, а тетенька Алена Евстратьевна была женщина, и ее женское участие трогало Нюшу, потому что она могла с этой тетенькой говорить о многом, что никогда не сказала бы ни бабушке, ни Зотушке. Модница быстро вошла в роль и под рукой успела выведать, что думает Нюша об Алексее Пазухине, а также кое-что и о бабушке Татьяне и обстоятельствах смерти братца. От ее внимания не ускользнуло то важное обстоятельство, что у братца с мамынькой был какой-то крупный разговор, а потом то, что бабушка Татьяна сильно скупится.

— А я ведь к вам неспроста приехала-то, мамынька, — объявила Алена Евстратьевна, пожив в Белоглинском с неделю и успев побывать везде.

— Вижу, что неспроста...

— Вину-то свою я хорошо помню.

— Какую вину?

— Ну, как я тогда расстроила свадьбу Нюши с Алексеем.

— Да, да... Вот теперь и полюбуйся! Кабы не ты тогда, так жила бы да жила наша Нюша припеваючи, а теперь вон Пазухины-то и глядеть на нас не хотят.

— Уж это обнаковенно, маменька. Разе я этого не чувствую? Может, сколько слез выплакала за свою-то глупость.

— Так за каким делом-то приехала? Говори уж прямо, не разводи бобов-то...

— А такое и дело, маменька, что хочу я исправить этот самый грех пред Нюшей. Хочу ей судьбу устроить... Есть у нас в Верхотурье один человек, Павел Митрич Косяков. Он раньше в становых служил, а теперь так, своими делами занимается. Очень оборотистый человек, маменька, и домик свой имеет. Хозяйство сам ведет и прочее всякое. Ну, он и видел как-то Нюшу в церкви, когда был в Белоглинском. Очень уж она ему по вкусу пришлась... Вот он и просил меня поразведать, что и как. И ведь какой человек-то, маменька! Молодой, красивый, рослый... Наши-то

невесты за ним страсть гоняются, да он и глядеть на них не хочет, потому как ему свой вкус лучше знать.

— Да чем он занимается, не пойму я что-то?..

— Своими делами, маменька... Ах, какие вы непонятные, маменька! Ведь это прежде было так, что тот и человек, кто на службе или ремеслом каким занимается, а нынче уж не то, нынче народ куда оборотистей пошел. Посмотрите-ка на богатых господ по городам, чем они занимаются? И сами не знают, а деньги так лопатой и гребут. Это кто с понятием, конечно, живет. А Павел Митрич на все руки: у него и прииск есть, и торговлишка маленькая, и по судам дела ведет. Больше по судам... Купец какой в пьяном виде нагрезит, сейчас к Павлу Митричу: «Выправьте, Павел Митрич!» А Павел Митрич сейчас бумагу напишет да сотенную и получит. Это за один час... Да недалеко сказать — Вукол Логиныч ему недавно двести рублей за одну корову заплатил. И ведь как просто дело все: искал золото Вукол Логиныч около одной деревни, да шахту и не завалил, а у одного мужика коро-

ва в шахту и свались. Ну, обнаковенно, мужик к Вуколу Логинычу: «Пожалуйте пятнадцать рублей за корову, потому как, по закону, вы шахту должны завалить». А Вуколу-то Логинычу это слово и не поглянись, что он его законом-то хотел пристращать. «Когда, — говорит, — такие слова со мной говоришь, двух копеек не отдам». Ну, мужик, обнаковенно, к мировому, а Вукол Логиныч к Павлу Митричу: «Тысячи не пожалею, только мужику не отдавать бы этих пятнадцати рублей». Мировой все-таки присудил взыскать с Вукола Логиныча, а Павел Митрич в съезд мировых — съезд то же присудил, что и мировой, а Павел Митрич в Сенат... Ну, Шабалин-то ему уж двести рублей заплатил, да еще двести обещает. Вот как оборотистые-то люди, маменька, живут на свете: за чужую корову четыреста рубликов получит и не поморщится.

— Да про этакого человека, Аленушка, ровно страшно и подумать... Ведь он всех тут засудит! Если бы еще он из купечества, а то господь его знает, что у него на уме. Вон как нас Головинский-то обул на обе ноги! Все дочиста спустил... А уж какой легкий на слова был,

пес, прости ты меня, Владычица!.. Чего-то боюсь я этих ваших городских...

— Ах, маменька, маменька, какие вы слова рассуждаете?.. Не все же плуты да мошенники по городам. Живу же я, не жалуюсь.

— Твое совсем другое дело: у тебя муж купец, ну а эти оборотистые-то.

— Да вы, маменька, то подумайте: оборотистого, хорошего человека, который живет с настоящим понятием, вы боитесь, а того не боитесь, что вы сегодня живы и здоровы, а завтра бог весть... Не к тому слово говорится, маменька, что я смерти вашей желаю, а к примеру: все под Богом ходим. Вот я и моложе вас, а чуть ноне совсем ноги не протянула...

— Это ты верно говоришь, Аленушка, я и сама часто о смертном часе думаю. Тоже мои года не маленькие; на семьдесят шестой перевалило... А все-таки страшно, Аленушка! Не знаем мы этого Павла Митрича, а чужая душа — потемки.

— Да ведь я-то его знаю, маменька! Так же вот отлично знаю, как вас... Уж если это не жених, так я уж не знаю. Ведь хотели же сва-

лить Нюшу за Алешу Пазухина, а за этакого человека боитесь!.. А вы еще так подумайте: умерли вы, а Нюша осталась одна-одинешенька. И то надо сказать, мамынька, — договорила она жалостливо, — какие теперь ваши достатки: дай бог одну голову прокормить, да вам одним-то много ли надо! А Нюша все-таки девушка молодая, то да се, все расходы да расходы... Прямо сказать, выйди бы она замуж, вы жили бы в своей половине с Маланьей, а в горницы пустили бы квартирантов, а при Нюше и квартирантов-то пустить неловко: всякий про девку худое слово скажет... Чужой человек в дому хуже колокола.

— Не знаю, как уж тебе сказать-то, — уклончиво говорила Татьяна Власьевна, — ты бы привезла его хоть показать, нельзя же позаочь...

Алене Евстратьевне только этого и нужно было: она живо укатила в Верхотурье за оборотистым женихом.

Глава 25

Чтобы не уронить себя как сваху, Алена Евстратьевна заставила Татьяну Власьевну подождать и привезла жениха только после Рождества. Павел Митрич Косяков оказался действительно видным, рослым мужчиной с красивым бойким лицом и развязными манерами; говорил он очень свободно и обращался с дамами необыкновенно галантерейно. И одет был Косяков с иголочки: все у него было новое, а на руках перстни «с супериками»[3]. Золотые часы с тяжелой золотой цепочкой и золотыми брелоками, золотые запонки у рубашки — все свидетельствовало самым неопровержимым образом об оборотистости Павла Митрича, так что Татьяна Власьевна осталась им очень довольна. И держал себя Косяков так скромно, обходительно, даже водки капли в рот не брал, а карт и в глаза не видывал. Только одно не нравилось Татьяне Власьевне в женихе: уж больно у него глаза были «вострые», так и бегают. Пожалуй, покойному Гордею Евстратычу такой жених и не поглянулся бы, да уж теперь такое дело по-

дошло, что выбирать нечего, а Нюшу кормить да одевать нужно.

— Больно он глазами у тебя бегает, — объяснила свои сомнения моднице Татьяна Власьевна. — Знаешь, и лошадей когда выбирают, так обходят тех, у которых глаз круглый, больно норовистые издаются.

— Всем деревни не выбрать, маменька, а Павел Митрич об нас с вами не заплачет: посмотрит невесту и уедет. Ему только рукой повести — как галок налетит. Как знаете, я не навязываю вам жениха, а только мне Нюши-то жаль... Это от сытости да от достатков женихов разбирают. Может, у вас где-нибудь припрятаны деньги, вот вы и ломаетесь надо мной.

— Да ведь я так сказала, к слову... Этакое ты, Аленушка, купоросное масло!.. Так и вертишь языком-то как шилом.

Зотушка тоже пришел посмотреть на жениха и остался им недоволен по всем статьям.

— Привезла нам Алена Евстратьевна какого-то ратника, — ворчал он в своем флигельке. — Он, жених-то, вон как буркалами своими ворочает и еще прикидывается: «Не пью!»

Знаем мы вас, как вы не пьете, а только за ухо льете.

После необходимых переговоров и церемоний показали жениху и невесту, причем, конечно, о сватовстве не было и речи, а все говорили о самых посторонних вещах. Нюше жених тоже не понравился, хотя ее об этом никто и не спрашивал. Чтобы поднять свои курсы, Алена Евстратьевна пригласила о. Крискента в качестве эксперта, которому такие дела уж должны быть известны доподлинно, потому что в год-то он сколько свадеб свенчает. Отец Крискент нашел как раз то, что желала Алена Евстратьевна, и, побеседовав с Павлом Митричем о разных духовных предметах, выразился о нем в разговоре с Татьяной Власьевной так:

— С головой человек.

— Сама вижу, отец Крискент, что не без головы, да только ведь в него не влезешь, — сомневалась Татьяна Власьевна. — Ведь не шуточное дело затевается.

— Совершенно справедливо изволите рассуждать.

Дело заварилось не на шутку и, при содей-

ствии о. Крискента, скоро было кончено: Нюша была помолвлена за Косякова. Эта новость облетела весь Белоглинский завод и еще раз сделала брагинскую семью героем дня, причем толкам и пересудам конца не было. Одни говорили, что Косяков богач и отличный человек, другие — что он прощелыга и прохвост, третьи — что женится — переменится, и т. д. В брагинском доме теперь шла настоящая сумятица, которую производили свадебные подруги Нюши: они шили, пели и наполняли дом беззаботным смехом. Присутствие Михалки и Володьки Пятова особенно одушевляло эту компанию, хотя Татьяна Власьевна и не особенно жаловала своих недругов, но уж случай такой вышел, что сердиться не приходилось. Павел Митрич держал себя как и следует настоящему жениху: осыпал всех подарками, постоянно целовался с невестой и угощал встречного и поперечного. Но первая роль, конечно, принадлежала моднице Алене Евстратьевне, которая всеми верховодила и распоряжалась, как у себя дома. Она поспевала везде: все видела и ничего не забывала. Только одно было нехорошо на этой сва-

дьбе-скороспелке: невеста была круглая сирота, и поэтому пелись все такие печальные песни, которые превращали свадьбу в поминки, да и невеста была такая скучная и часто плакала.

— Вот братец не дожили до такой радости, — говорила Алена Евстратьевна, — то-то они порадовались бы. Братец-покойник веселые были в компании... Другому молодому супротив них не устоять!..

Общее веселье отчасти омрачилось еще тем обстоятельством, что Зотушка жестоко запил и даже совсем исчез из дому неизвестно куда. Его, впрочем, и не разыскивали, потому что было не до того, — у всех хлопот был полон рот.

Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то таскала кирпичи. Народу было битком набито, и бабы поголовно восхищались счастливой парочкой. В этой пестрой толпе много девушек завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого жениха, а невеста стояла такая бледная, с опухшими от слез глазами, и венчальная

свеча слабо дрожала в ее руках. Вечером в брагинском доме был устроен настоящий пир, на котором мужчины и женщины напились до безобразия. Молодых поздравляли, отпускали на их счет самые сальные шуточки, так что с Нюшей под конец сделалось дурно...

Татьяна Власьевна рассчитывала так, что молодые сейчас после свадьбы уедут в Верхотурье и она устроится в своем доме по-новому и первым делом пустит квартирантов. Все-таки расстановочка будет. Но вышло иначе. Алена Евстратьевна действительно уехала, а Павел Митрич остался и на время нанял те комнаты, где жил раньше Гордей Евстратыч.

— Я только на время, бабушка, на время, — говорил он для успокоения старухи. — Дела у меня здесь есть, так нужно будет развязаться с ними.

— Твое дело, тебе лучше знать, а я не гоню, — по возможности кротко отвечала зятю Татьяна Власьевна, хотя сама и ежилась.

Скоро возникли и первые недоразумения, поводом для которых послужили хозяйственные расчеты: Павел Митрич пил и ел с женой, занимал квартиру, а о деньгах и не заи-

кался.

Так прошел весь медовый месяц. Павел Митрич оказался человеком веселого нрава, любил ездить по гостям и к себе возил гостей. Назовет кого попало, а потом и посылает жену тормошить бабушку насчет угощенья. Сам никогда слова не скажет, а все через жену.

— Да у него у самого-то языка, что ли, нет? — ворчит бабушка на Нюшу.

— Бабушка, да ведь там сидят чужие, осудят, пожалуй... — объясняла Нюша со слезами.

Татьяну Власьевну Косяков оставлял долго в покое, но тем тяжелее доставалось бедной Нюше, с которой он начал обращаться все хуже и хуже. Эти «семейные» сцены скрыты были от всех глаз, и даже Татьяна Власьевна не знала, что делается в горницах по ночам, потому что Павел Митрич всегда плотно притворял двери и завешивал окна.

Вынужденная истязаниями и беспрерывною нравственной пыткой, Нюша обратилась к бабушке Татьяне с просьбой о деньгах, но безуспешно. Татьяна Власьевна точно окаменела и выслушивала мольбы внучки совер-

шенно равнодушно.

— Не умеешь просить, каналья! — ругался Косяков и отпускал Нюше за неудачную просьбу двойную порцию побоев.

Но на этом Павел Митрич не остановился, потому что слишком вошел во вкус своей семейной жизни. Безответность трепетавшей перед ним жены раздражала его, и он с мучительным наслаждением придумывал новые истязания. Теперь ему было мало этих келейных наслаждений, нужно было общество.

Чтобы выучить жену пить вместе со всеми водку, Косяков дал ей всего несколько уроков в спальне. Нальет рюмку, подаст Нюше и мучит ее до тех пор, пока она не выпьет.

— А вы знаете, Павел Митрич, что ваша жена влюблена? — спросила как-то раз Косякова Варвара Тихоновна. — Да, очень влюблена... Не догадываетесь? — допытывала она, досыта намучив гостя.

— Нет...

— А Алешка Пазухин?.. Ведь он сколько лет считался женихом Анны Гордеевны. Ну, тогда свадьба расстроилась из-за Гордея Евстратыча, так они теперь из-за вас свое бе-

рут... Уж это верно!.. Чтобы жена да не водила мужа за нос, да этому я никогда не поверю... никогда!..

Домой вернулся Косяков точно в тумане: теперь старуха у него была в руках, и он ее проберет... Да, отличная штука будет. По своему обыкновению, Павел Митрич ничем не выдал себя, и даже Нюша не заметила в нем никакой перемены. Он что-то долго обдумывал, а потом разоделся в свои суперики и отправился знакомиться с Пазухиными, которые были удивлены таким визитом любезного соседа.

— Я давно к вам собираюсь, да все дела задерживали, — объяснил Павел Митрич с обычной своей развязностью. — Живем соседями, надо же познакомиться.

Сила Андроныч был дома и с любопытством рассматривал гостя, который был известен в Белоглинском заводе под именем Пашки Косякова, или просто «ратник»; старик слышал кое-что о семейной жизни Нюши и крепко недолюбливал его, но человек пришел в гости — не гнать же его в шею. Косяков посидел, поговорил, а потом на прощанье

усиленно просил пожаловать в гости к себе.

Знакомство их продолжалось недолго. Павел Митрич устроил своим соседям скандал, пригласив к себе гостей и в том числе Пазухиных. Когда гости собрались, Косяков обратился ко всем с такой речью, указывая на Алексея Пазухина:

— Это мой отличный сосед. Когда меня не бывает дома, Алексей Силыч любезничает с моей женой и заводит шашни. Они ведь старые знакомые, так им не привыкать обманывать добрых людей: раньше Анна Гордеевна обманывала своего тятеньку, а теперь обманывает меня.

— Врешь! — загремел Сила Андроныч и накинулся на «ратника».

Произошла страшная свалка.

— Постой, кровопийца, я тебе покажу!.. — ревел Сила Андроныч, обрабатывая кулаками хрипевшего «ратника». — Ты думаешь, на тебя и суда нет, разбойник двухголовый?.. Кровь чужую пьешь. Я тебя задушу, палача.

Только прибежавшая на шум Татьяна Власьевна кое-как усмирила Силу Андроныча и стащила его с избитого зятя.

— На твоей душе грех, старуха!.. — гремел расходившийся Пазухин. — Вы вдвоем загубили Нюшу и ответите за нее перед Богом.

Косяков, потерпев поражение от Силы Андроныча, считал себя теперь вправе выместить гнев на жене и на Татьяне Власьевне.

Глава 26

Зотушка все это время вел самый странный образ жизни и точно не хотел ничего знать, что делается в батюшкином доме. Он совсем не ходил в горницы, чтобы не встречаться с «ратником», и как будто избегал Нюши, которую всегда очень любил. Правда, Зотушка очень редко появлялся в своем флигельке и все пропадал где-то, хотя его не видали больше ни у Савиных, ни у Колобовых. О печальной жизни Нюши Зотушка, конечно, знал давно, хотя об этом и не говорил никому. Ни одна душа не видала, как «источник» по ночам молился и плакал о своей голубке. Все время он соображал о том, как ему освободить Нюшу от «ратника», и не мог ничего придумать. Голова Зотушки была устроена совершенно особенно: его мысль вечно проби-

ралась какими-то закоулками и задворками и все-таки приходила к своей цели.

Раз, перебирая все обстоятельства мудреного дела, Зотушка весь просиял и даже заплакал от радости: решение было найдено и Нюша спасена. Он долго молился своему образку, прежде чем идти на подвиг, потом приоделся, намазал обильно свою голову деревянным маслом и со своим смиренным просветленным видом отправился прямо в горницы.

— А, Зотей Евстратыч, где тебя долго не видать? — спрашивал Павел Митрич. — Загордился, совсем не хочешь нас знать...

— Какая гордость, Павел Митрич, господь с вами. Так, делишки разные были...

— Да какие у тебя дела могут быть, блаженная голова? Живешь как комар — какие у тебя дела...

— И у него своя забота есть, Павел Митрич...

Косяков чувствовал, что старик пришел недаром, потому что он все неспроста делал, что-нибудь да держит он на уме и уж наверное знает, куда старуха прячет свои деньги.

Косяков даже удивился, как он раньше об этом не подумал: подпоить божьего человека — он все и разболтает... Эта мысль очень понравилась Косякову, и он решил привести ее в исполнение.

— Ты не бегал бы от меня, так дело-то лучше было бы, — говорил Косяков, ласково поглядывая на старика своими вострыми глазами. — Приходи покалякать когда, поболтать, да и муху можно раздавить...

Зотушка блаженно улыбнулся и, осторожно оглядевшись кругом, проговорил вполголоса:

— Старухи я боюсь, Павел Митрич... Ведь она меня сживет со свету, если узнает, что я с вами-то заодно...

— Так бы прямо и сказал... А ты не бойся: Павел Косяков никого на свете не боится. Да что тут толковать: хочешь, сейчас муху давнем?

— Уж это на что лучше, Павел Митрич.

Зотушка прищелкнул языком и хитро подмигнул глазом в сторону бабушкиных горниц, — дескать, теперь мне плевать на нее, ежели Косяков никого на свете не боится.

Явилась водка, явилась закуска, и первая «муха» была раздавлена самым развеселым образом, так что захмелевший Зотушка даже спел свой стих о старце. Татьяна Власьевна просто диву далась, когда узнала, что Зотушка пирует с «ратником»: не такой был человек Зотушка, чтобы кривить душой, — уж как, кажется, он падок до водки, а никогда ни одной рюмки не примет от того, кто ему пришелся не по нраву... А тут, на-кася, даже песню запел... Нюша сначала даже испугалась, когда услышала Зотушкин стих. И теперь где же поет Зотушка — в горницах, где его слушает «ратник»!.. А Зотушка все пел и пел, улыбался блаженной улыбкой и даже закрывал глаза, как воробей, которого после холодной морозной ночи пригрело солнышком.

— А ведь ты славный старик, — хвалил Косяков, хлопая Зотушку своей десницей по плечу. — И песни отлично поешь...

— Уж как кому поглянется, Павел Митрич.

— Так старуха-то крепко тебя обижает?

— Голодом сморила... Да и так, ежели разобрать: как пила пилит.

— Да ты выпей еще, а потом побеседуем...

Зотушка не отказался от новой «мухи» и притворился совсем захмелевшим.

— А я... пришел к тебе... не тово... недаром, — признавался Зотушка косневшим языком. — Уж больно меня... старуха-то доехала... Стра-асть доехала!.. Хоть вот сейчас ложись... и помирай! Вот я и пришел к тебе... дельце маленькое есть...

— Я ведь тоже с тобой давно хочу поговорить, Зотей Евстратыч, и, кажется, мы столкуемся... Не насчет ли капиталов Гордея Евстратыча?

— Оно самое... оно... только я старухи до смерти боюсь...

— Вот что, пойдем лучше к тебе в флигелек, побеседуем там...

— Лладно-о...

Косяков под руку довел пьяного Зотушку до его флигеля и даже помог ему сесть на стул.

— Ох, боюсь старухи, — представлялся Зотушка, раскачиваясь на стуле.

— А есть у старухи деньги?

Зотушка оглянулся боязливо по сторонам и прошептал:

— Есть...

— Зотей Евстратыч, послушай меня: скажи, куда прячет старуха деньги, тогда одна половина моя, другая твоя... А то все равно нам обоим ничего не достанется!

— Обманешь ты меня?

— Я?.. Хочешь, сейчас образ со стены сниму?

— Хорошо... я тебе укажу место... только чтобы водкой меня поить до отвалу.

— Ну, где?.. — задыхавшимся шепотом спрашивал Косяков.

— А ты не больно торопись... Не запрег, чего нукаешь?.. Сейчас я тебе ничего не скажу, а через три дня все как на ладонке объясню...

Как «ратник» ни умолял Зотушку, тот не сдался ни на какие просьбы и настоял на своем.

Три дня пролетели быстро. Зотушка куда-то исчезал, но потом явился на третий день. Косяков все это время переживал с самым лихорадочным нетерпением, а когда вечером увидал затеплившийся в флигельке Зотушки огонек — вздохнул свободнее; он сейчас же побежал к нему, а тот сидел на лавке

бледный и изможденный, точно он перенес какую болезнь в три дня.

— Что это с тобой? — осведомился Косяков.

— Ничего... пировал, — коротко ответил Зотушка, ощупывая свою голову.

— Эк тебя взяло... Нашел время, нечего сказать.

— А ты думаешь, мне легко чужие-то деньги воровать?.. А?.. Может, у меня сердце все издрожалось со страху... Страсть боюсь старухи.

— Ну, сказывай, где деньги-то...

Косяков давно наблюдал за Татьяной Власьевной, куда она прячет деньги, но все было бесполезно. Но и Зотушке стоило немалых усилий открыть секрет Татьяны Власьевны. Он провел до десятка бессонных ночей, прежде чем укараулил старуху, когда она ходила проведать свой заветный узелок. Татьяна Власьевна прятала деньги в пяти местах — на сарае в сене, в предбаннике, в конюшне, в дровах и, наконец, в ларе с овсом. Последнее место и дало возможность решить всю задачу с «ратником». Теперь Зотушка сидел на лавке, смотрел на Косякова воспаленными слезив-

шимися глазами и все что-то шептал про себя.

— Да скажешь, что ли, дьявол!.. — приступил к нему Косяков, бледнея.

— Ладно... скажу... только мне половину... а то не скажу.

— Сказал, что отдам... Фу, черт! Чего еще жилы-то тянешь...

— Надо замок ломать... снасть-то припас?

Косяков порылся в кармане и достал оттуда плотничье долото.

— Какой угодно замок отворим этим ключом, — проговорил он, показывая свою снасть.

— Хорошо... Ступай во двор, там стоит ларь с овсом...

— Знаю...

— Ну, в этом ларе, в овсе, и ищи узелок... в правом углу... Только вот что: мне твоих денег не надо, а ты мне отдай камешек, который лежит тут же с деньгами... только и всего...

Косяков уже шагал по двору. Ночь была светлая, и Косяков боязливо оглядывался в сторону дома, точно боялся какой засады. Вот

и знакомый старый ларь. Сняв осторожно замок и накладку, Косяков еще раз оглянулся кругом и по пояс опустился в глубокий ларь, где долго шарил руками в овсе, прежде чем ущупал заветный узелок. Достав узелок из ларя, Косяков вернулся с ним в Зотушкин флигелек, проверил там деньги и передал Зотушке ту самую жилку, которую когда-то привез Михалко из Полдневской от Маркушки.

— Теперь, Павел Митрич, уходи от греха, — проговорил Зотушка, пряча кусок кварцу за пазуху. — С деньгами тебе везде дорога, а если вздумаешь назад оборотиться — обоих нас в каторгу зашлют...

Косяков навсегда скрылся из Белоглинского завода, а Зотушка истолок в ступе Маркушкину жилку и той же ночью всыпал ее в церковную кружку.

ЗОЛОТО

(Роман)

Родион Потапыч Зыков был старейшим штейгером на Балчуговских золотых промыслах. Хоть и занимался всё больше службой, но держал всю свою большую семью в строгости. Но вся его семейная жизнь быстро пошла прахом, совпав по времени с открытием новых промысловых работ на бывшей казённой Кедровской даче.

Часть I

Посвящается Марусе

Глава 1

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые

Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

— Эх, вся кошемная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

— Только бы застать Родьку... — думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки.

Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, — эти, следовательно, находились на полном ходу.

— Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, — проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли. — Тоже, называется, золото ищут... ха-ха!.. Не положил — не ищи... Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменил с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели

заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид, — трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

— Одна парадная дыра осталась... — проговорил он, направляясь к работавшей шахте. — Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

— Был, да весь вышел...

— Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! — обругался Кишкин.

— Ступай на Фотьянку, там его застанешь, — посоветовала голова.

— Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерить до Фотьянки. Ах, ста-

рый черт... Не сидится ему на одном месте.

— На брезгу Родион Потапыч спущался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит...

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. Ах, много тут денежек компания закопала, — тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» — громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дарового труда не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у

него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая-ттристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, — с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова

был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

— Эге, дома лесной черт! — обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору.

— Мир на стану! — крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

— Милости просим, — ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. — Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

— А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да... А ты тут старателей зо-

ришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

— Все хороши, — угрюмо ответил Зыков. — Картошки хошь?

— В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

— Ишь, лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

— Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки. Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил...

— Не ври. Не люблю... Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом — полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

— А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, — восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. — Много старателей-то?

— Десятка с три наберется...

Работы начинались саженях в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

— Ишь, ледяной водой моют, — заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. — Что бы казарму поставить да теп-

ленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись...

— Ничего ты не понимаешь! — оборвал его Зыков. — Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая; а второе дело — по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой — он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их сполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

— Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

— А не болтай глупостев, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

— Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

— Ну?

— Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и протчее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и

только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

— Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

— Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке — везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются... Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, Палестина необъятная...

— Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, — кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся

промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расползутся... Их только помани. Народ отпетый.

— Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, — заговорил Кишкин искательным тоном. — Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопотнуть!

— Ну?

— Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

— Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха...

— Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше

твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, — ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

— А ведь ты верно, — уныло согласился Зыков. — Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, — прибавил он, — врешь ты все...

— А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

— Прежде-то что было, Родион Потапыч! — как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. — Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне... Разве нынче промысла? Разве работы?

— Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

— Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл?.. Я... да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир...

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатились у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

— Ну, будет тебе... Эк, что вздумал вспоминать!

— Да!.. — уже со слезами в голосе повторял Кишкин. — Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел... да.

— Было и твое дело, что тут греха таить!

— Да что было-то? Дадут три сторублевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в во-

де утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то что было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих — писал сто, где сто кубических сажен земли вынуто — писал тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают...

— А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? — накинулся на него Зыков с ожесточением. — Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься... В чьем дому сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

— Было и это, — согласился Кишкин. — Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил... Было, А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали, — так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали — и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой, — и к лапкам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить...

— Кто старое помянет — тому глаз вон. Было, да сплыло...

Глава 2

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

— Ну, брат, мне некогда, — остановил он гостя, поднимаясь. — У нас сейчас смывка... Вот объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся ка-

менистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

— Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

— А диомид... Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомид не любит.

— А ежели грешным делом да того...

— Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомид под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», — подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

— Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? — спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

— Не нашего ума дело, вот и весь сказ, — сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. — Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

— Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

— Эх вы, свинорои! — ворчал Зыков, заглядывая на первую дудку. — Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, — это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже

у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, — все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи — черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тря-

пиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

— Здорово, Турка... Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

— Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч... Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

— Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? — спрашивал Кишкин, понижая голос.

— Запамятовал как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомню.

— Ну, а других помнишь, кто там работал?

— Как не помнить... И наши фотьяновские и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив

старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

— Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

— Сиротское ваше золото, — заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. — Из-за хлеба на воду робите...

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, — это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

— Почем в контору сдаете? — спрашивал Кишкин.

— По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заробишь, а что одежи износим, что обуя, это уж свое. Прямо — крохи...

Объездной спешился и, свертывая цигарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

— Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву...

— А ты что лаешься? — огрызнулся объездной. — Чужое жалеешь...

Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

— А, это ты, Матюшка... — вступился Кишкин. — Что больно сердит?

— Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок, — ну, и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

— И в самом-то деле, чего привязался! — пристали бабы. — Ступай к своим балчугов-

ским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

— Ах вы, варнаки! — ругался объездной, усаживаясь в седле. — Плачет об вас острог-то, клейменые... Право, клейменые!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

— Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, — ответил за всех Матюшка. — Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании — в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

— Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

— Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, — ответил Матюшка. — Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

— Молоко на губах не обсохло учить-то меня, — ответил Кишкин. — Не сказывай, а спрашивай...

— Это верно, — подтвердил Турка. — У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

— Не знаю ничего... А что?

— Да так... Мало ли что здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

— Ты куда наклался? — спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

— А в Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

— Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо на Фотьянку, — проговорил Кишкин, поднимаясь. — Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес, — ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

— Кабак подпираете, молодцы, чтобы не упал грешным делом? — пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Киш-

кин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посудины и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

— Будь здоров на сто годов, Евстратыч, — проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

— Давненько я здесь не бывал... — задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. — Каково торгуешь, Фрол?

— У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь и пить-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, что со святого, — немного возьмешь.

— Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

— Вот что, друг, — заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, — кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?.. Значит, сейчас после воли?

— Есть живые, как же... — старался припомнить Турка. — Много перемерло, а есть и

живые.

— Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

— Есть и такие: Никифор Лужоный, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Лекандра...

— Вот и отлично! — обрадовался Кишкин. — Мне бы с ними надо со всеми переговорить.

— Можно и это... А на что тебе, Андрон Евстратыч?

— Дело есть... С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

— Да что показывать-то?

— А что следователь будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

— Да ты что испугался-то? — смеялся Кишкин. — Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

— А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под

коленки ударил.

— Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревянел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

— Нет, с тобой, видно, не сговоришь! — решил огорченный Кишкин.

— Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы — темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело.

— Да сделай милость, хоша сейчас к следо-

вателю! — повторял он с азартом. — Все покажу, как было дело. И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

— А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох, как наболело!..

— Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

— А уж это, как бог пошлет: либо сена клок, либо вилы в бок.

Петр Васильич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз — его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильича перекреститься.

— Неужто правда, андел мой? А? Ах, божже мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша канпания — могила. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

— Да уж правильнее не бывает...

— И что только будет? В том роде, как огромадный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай, где хошь.

— Только смотри: секрет.

— Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А что касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди, — все, как на ладонке, покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговорю. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Лужоного, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

— Да уж он знает! Я к нему заходил по пути.

— Ну, что он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке, — ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха... Ах, андел ты

мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, — впервой, когда россыпь открыл, а теперь — словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами, — стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

Глава 3

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части, — правая Нагорная и левая Низменная — Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка

была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке — месте поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой — с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного

острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу — никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, — все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее

редко молодыми, — а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «это еще при Марфе Тимофеевне было», или «покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

— А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, — да и убил бы, если бы не поме-

шали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены деше-

венькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

— А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажить внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с боль-

шим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов, — этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убегом за строгаля в Низах по фамилии Мыльникова. Это был настоящий mesalliance,[4] навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в

тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, — муж попался «карахтерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смирный и работящий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья, — детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье

особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, — с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. За-

мечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она вместо того, чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

— Вот ужо воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело вы-

ходило самое скверное, главное, потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

— Что уж, матушка, убиваться-то без пути, — утешала замужняя дочь Анна. — Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

— Ишь, выискалась?! — ругался Яша. — Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий по обыкновению больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами, чуть что, и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

— Вот вы все такие, зятья! — ругался Яша. — Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали...

— Я, что же я?.. — удивлялся Прокопий. — Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты — сын, Яков Родионыч: тебе много поближее... Ко-

нечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

— Дураки вы все, вот что... Небось, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, — ну, и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне что, я его вот на эстолько не боюсь!..

— Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, — нерешительно советовала Устинья Марковна. — Может, и уговоришь... Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

— И в Тайболу съезжу! — горячился Яша, размахивая руками. — Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвер-

тишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

— Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

— Дай тебе бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так

что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

— Куда такую рань наклался, дорогой деверек? — спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

— Да так... в город по делу надо съездить, — соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

— Ну, ну, не ври, коли не умеешь! — оборвал его Мыльников. — Небось, в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха... Эх вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите... А что, дорогой тестюшка каково прыгает?..

— И не говори! Беда... Объявить не знаем

как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

— Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела... да. Вон у меня дерево стоеросовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, — да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась...

— Да это бог бы с ней, что убегом, Тарас Матвеич, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

— А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в Седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

— Да ты куда это? — изумлялся Яша.

— Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одно-

му не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

— Ну ты, дерево, смотри у меня! — пригрозил ей отец. — Чтобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

— Уродится же этакое дерево... а?..

Глава 4

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном

и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

— Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. — хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. — Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он...

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехавших верхом родственников.

— Андрону Евстратычу! — крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. — Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается...

— Али на свадьбу собрались? — пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени.

— Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, — пожаловался Яша, качая голо-

вой. — Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит...

— Бог не без милости, Яша, — утешал Кишкин. — Уж такое их девичье положенье: сколь девку ни корми, а все чужая... Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

— Милости просим, Андрон Евстратыч... Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

— А ты пасть-то свою раствори, Тарас! — огрызнулся Кишкин. — О Пронькиной вышке своя речь... Ах, ботало коровье!.. С тобой пива не сваришь...

— Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богачество предоставлю! — хвастался Мыльников. — Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только!

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку,

по которой и нужно было ехать Яше. На ростани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед.

— Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха... Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... Ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходце закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная — каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от

могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

— Подворачивай! — крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. — Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

— Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, — заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

— Заходите, гости будете, — пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной щеколде. — Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

— У себя дома молись, родимый, я наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

— Ну, начинай, чего молчишь, как пень? — подталкивал Яшу Мыльников. — За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

— Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... — проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот.

— Не чужие будем, баушка Маремьяна, — вставил Мыльников.

— А на какую причину она вам понадобилась? — ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщевую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

— Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, — отвечал Мыльников, размахивая рукой. — Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

— Ладно, коли с добром, — согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

— Медведица... — проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. — Погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опушенными такими длинными ресницами.

— Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, — покорным тоном проговорила она, кланяясь. — И вы, Тарас Матвеич, здравствуйте...

— Вот что, Феня, — заговорил Яша, — сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая

оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

— Крутенек тестюшка-то Родивон Потапыч, — прибавил Мыльников. — Таку резолюцию наведет...

— Что же я, братец Яков Родивоныч... — прошептала Феня со слезами на глазах. — Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

— Вот что, господа, — заговорил он, прикрывая жену собой, — не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся... Наш грех...

— Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! — заметил Мыльников и за-

смеялся. — Он тебе покажет...

— И поговорим и даже очень поговорим, — уверенно ответил Акинфий Назарыч. — Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

— Да про убег нет слова, Акинфий Назарыч, — вступился Яша, — дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

— Что же вера? Все одному богу молимся, все грешны да божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию выдалась: у Мятелевых жена православная по городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А, между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Маменька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда!.. Так ведь, Тарас?

— Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! — блаженно изумлялся Мыльников. — В самое то есть живое место попал... Семь бед — один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по щучье-

му веленью: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

— Господа, пожалуйте! — приглашал Акинфий Назарыч. — Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя... Ну, да все равно: семь бед — один ответ... И Фени жаль и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

— А где баушка Маремьяна? — пристал он. — Хочу беспременно с ней выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

— Как же теперь нам быть? — спрашивал Яша после третьей рюмки. — Без ножа зарезала нас Феня...

— Чему быть, того не миновать! — весело ответил Акинфий Назарыч. — Ну, пошумит старик, покажет пыль — и весь тут... Не вся-

кое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убегом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами...

— Оно конечно, — соглашался пьяневший Яша. — Я ведь тоже с родителем на перекосых... Очень уж он канпании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою... Тоже в другой раз и обидно.

— А ты выдела требуй, Яша, — советовал Мыльников. — Слава богу, своим умом пора жить... Я бы так давно наплевал: сам большой — сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

— Перестань молоть! — оговаривала его старая Маремьяна. — Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше... Так ведь я говорю, сват — большая родня?

— Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

— Что же, ну, пусть родитель выворачивается с Фотьянки... — рассуждал он, делая соответствующий жест. — Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое протчее... А там хоть на части режь...

— Он за баб примется, — говорил Мыльников, удушливо хихикая. — И достанется бабам... ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили — надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

— Уж я все устрою, шурин... все!.. У меня,

брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

— Хорошо, хорошо... — соглашался «молодой». — Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

— Перестань убиваться-то, — ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. — Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да станового обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков.

Оба были немного навеселе.

— Ох, два голубя, два сизых! — крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми. — Откедова бог несет?.. Подмокли малым делом...

— А тебе завидно? — огрызнулся Мыльников. — Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

— Который теперь час? — спрашивал он.

— А скоро, видно, три... Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

— А ну его... Побьет еще, пожалуй.

— Н-но-о?..

— Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неиз-

бежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх... А вот и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

— Гли-ко, гли, Яша! — крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. — У моих-то ворот кто сидит?

— И то как будто сидит.

— Да ведь это Шишка... Верное слово!.. Ах, раздуй его горой...

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

— Ох-хо-хо! — заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. — Вот так Окся: уважила

Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась к ненастью! Ах, курва Окся, ловко она саданула...

Глава 5

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков — на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит, близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

— Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, — вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной

засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, — все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

— Нету ведь Яши-то, — шепотом сообщила ему Устинья Марковна. — С самого утра уехал... Что ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

— Ты куда, Прокопий? — окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

— Я пойду Яшу искать, — ответил он, глядя в угол. — Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять... Всякому до себя.

— А что же в баню-то сегодня не пойдешь,

что ли? — окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

— Успеется и баня, — ответил Прокопий. — Пусть батюшка первым идет...

«Банный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

— Тоже, мужик называется... Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

— Молчи, Марья! — окликнула ее мать. — Ты бы вот завела своего мужика да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

— У тебя нет лучше Прокопья, — ворчала Марья.

— Ты у меня поворчи! — крикнула мать. — Зубы-то долги стали...

За убегом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутний из Фотьянки.

— А где Феня? — спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

— В соседи увернулась, — ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страху.

— Не нашла время...

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

— Это на какую причину лампадка теплится? — спросил он.

— А воскресенье завтра, Родивон Потапыч... Банька готова, хоть сейчас можно идти.

— А Прокопий когда успел в баню сходить?

— Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

— Порядков не знаете?! — крикнул старик и топнул ногой. — Ты у меня смотри, потатчица...

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже по-

слышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

— Батюшки, да никак и Тарас с ним! — охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

— Родителю... многая лета... — бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. — А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша!

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные, как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

— Так мы, значит, из Тайболы... — объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. — От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

— От какой Федосьи Родивоновны? — повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. — Да вы сбесились,

оглашенные?.. Да я...

— А ты не больно, родитель, тово... — неожиданно заявил насмелившийся Яша. — Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тащили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

— Уж и что мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акиньку Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

— Да вы... вы одурели тут все без меня? — хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. — Да я вас... Яшка, вон!.. Чтобы и духу твоего не осталось!

— А ты не больно, родитель, тово... — дерзко ответил Яша.

— Что-о?!..

— А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора

мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

— Правильно, Яша! — поощрял Мыльников. — У меня в суседях место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь.

— Да ты не больно!.. — кричал Мыльников уже в сенях. — Ишь какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

— Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

— Ну, вот... — проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. — Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

— Тятенька, миленький...

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель вы-

гонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

— Наташка, перестань... Брось... — уговаривал ее Мыльников. — Не смущай свово родителя... Вишь, как он сразу укротился. Яша, что же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей...

— И ты тоже хорош, — корил Яша своего сообщника. — Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

— Ты... ты зачем? — грозно спрашивал его старик.

— А дело есть, Родивон Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

— Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

— И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следствует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благославляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

— Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

— Ну, был...

— Опрашивал он тебя касаемо допрежних времен и казенной работы?

— Пустой он человек. Болтал разное...

— Ну, так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

— Да не болтай глупостев, шалая голова!.. Не люблю...

— Донос Шишка пишет, вот что! — точно

выстрелил Тарас. — О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

— Не пойму я тебя, Тарас, — сурово проговорил старик. — А ты садись, да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки.

— Сперва-то он издалека речь завел, — рассказывал Мыльников. — Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвеич, ходил в шорниках на Фотьянке? Мо-

жешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали?..» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел... И нынешнюю, грит, кампанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит...

— Ну, а еще-то что?

— Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

— Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

— Только и всего?

— Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается!..

— Ну и дал бог родню! — ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

— Ты это что за модель выдумал... а?! — грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. — Кто в дому хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

— Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, — упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. — А желаю выдел получить...

— Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами...

— А уж что бог даст... Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

— Пора мне и свой угол завести, — продолжал Яша. — Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая... Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

— Что-о?..

— Сговорились, говорю. Своя у нас канпания: значит, зять Тарас Матвеич, я, Кишкин...

— Вот так канпания! — охнул Родион Потапыч. — Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет — Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: трехнулся старик...

— Так канпания? А? — спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. — Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

— Уж это кому какие бог счастки пошлет...

— Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

— Как же насчет Фени-то?.. — шептала она побелевшими от страха губами. — Слезьми,

слышь, изошла…

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

— Будь она от меня проклята…

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

— Родион Потапыч, опомнись!.. Родной…

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

Глава 6

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий гос-

подский двор.

— Степан Романыч дома? — сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

— У них гости... — с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. — К нам нельзя-с...

— Дурак! — обругал старик, отталкивая Ганьку. — А ты, Яшка, подождешь меня здесь!..

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал ка-

кое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

— У них гости... — шепотом заявила она, как и Ганька. — Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

— Сурьезное дело есть... Так и скажи, — наказывал он с обычной внушительностью. — Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно весе-

лый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного.

— Ну что, дедушка? — весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. — Шахту, видно, опустил?..

— С нами крестная сила! — охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. — Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч...

— Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну, и с этой то же будет...

— Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, — нравоучительно заметил старик. — Не таковское это дело...

— А что?

— Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы, да особливо который гость похвалит — нет того хуже.

— Сглазить шахту можно?.. — засмеялся Карачунский. — Ну, бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

— Что, разве чай будем пить, дедушка? — весело проговорил он. — Что мы будем в передней-то стоять… Проходи.

— Ох, не до чаю мне, Степан Романыч…

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

— К твоей милости пришел, Степан Романыч… Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежа…

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

— Дедушка, что ты… Дедушка, нехорошо!.. — бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. — Разве можно так?..

— Парня я к тебе привел, Степан Романыч… Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я тово… Будь отцом родным…

— Какого парня, дедушка?

— Да Яшку моего беспутного…

— Ах, да… Ну, так что же я могу сделать?

— Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

— Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

— Вот то-то и горе, что седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

— Вот не угодно ли? — обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. — Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

— Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комна-

ты его пущали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

— Я не имею права, да и никто другой тоже.

— Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

— Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, — заговорил Карачунский. — Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу.

Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, по-

ставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

— Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, — заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. — Чем он тебя обидел?

— А за его качества... — сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. — Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

— А главная причина — донял он меня Кедровской дачей, — закончил Родион Потапыч свою повесть. — В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

— Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

— Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить... Забегал он ко мне как-то на Фотьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, что он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

— А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Все болтают про Кишкина.

— Пустой человек, — коротко решил Зыков. — Ничего из того не будет, да и дело прошлое... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

— А если тебя под присягой будут спрашивать?

— Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

— Ничего, все это пустяки... — отшучивался Карачурский. — Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену — и вся

недолга.

— Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, — строго заметил Зыков. — Им сколько угодно дай — все возьмут... Я только одному дивлюсь, что это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

— Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? — в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. — У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

— Как же это так, Степан Романыч?.. — бормотал он. — Все мы от казны хлеб едим... Казна — всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, — господи, да что же это такое делается? Точно во сне...

Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча (старик указал глазами на Оникова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал — все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без этого и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий, — повытчики еще тогда были, — повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах, да пьяненький и попадись Телятникову на глаза. «Зайди, — говорит, — дедушка, ко мне...» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых — или я тебя сейчас со службы

прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, — косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

— Будем посмотреть, дедушка...

— Что это я сижу-то, — спохватился Родион Потапыч. — Меня ведь парень-то ждет во дворе.

— Оставь, дедушка, — вступился Карачунский. — Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

— Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

— Это которая? — припоминал Карачунский. — Одна с серыми глазами была...

— Вот эта самая, Степан Романыч... Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

— Да, действительно, неприятный случай... — тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

— Что же я теперь должен делать?

— Гм... да... Что же, в самом деле, делать? — соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. — Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать... Когда Феня ушла?

— Да уж четвертые сутки... Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божецкую милость, вороти девку... Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и прав-

дой шестьдесят лет, заслужил же хоть что-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают...

— Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. — взмолился Карачунский. — Уж для тебя-то я все бы сделал.

— Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина — вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

— Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

— У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, что пес налакал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

— Сколько ей лет?

— Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

— Нельзя воротить: совершеннолетняя...

— Как же, значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, чтобы потакать.

— Что же, пожалуй, я могу съездить в Тай-

болу, — предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. — Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

— Ежели бы жив был Иван Герасимыч, — со вздохом проговорил он, — да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж; видно, через волость.

— Ничего не могу поделать! — уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

— Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

Глава 7

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К®» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело — едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая — этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока раз-

ведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, — тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании, — она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек — совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой на-

живой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский; он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бед-

ствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышиный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору во-

ротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, — в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

— Вы знаете этого... этого Кишкина? — об-

ратился он неожиданно к Оникову.

— Что-то такое слыхал... — небрежно ответил молодой человек. — Даже, кажется, где-то видал: этакий гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное...

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

— А вы как думаете, Карл Иваныч? — обратился к немцу Карачунский.

— Что я думаю? — ответил немец вопросом. — Я думаю, что будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» — со злостью

думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

— Сейчас будут-с, — докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Кара-

чунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

— Вчера у меня был Родион Потапыч, — заговорил Карачунский без предисловий. — Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

— Что же, мы всегда готовы помириться... — бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. — Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе не утолчешь...

— Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

— И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

— Да... это действительно... Как же быть-то Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

— А уж что бог даст, — решительно отве-

тил Кожин. — По моему рассуждению так, что, конечно, старику обидно, а судом дело не поправишь... Утихомирится, даст бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

— Ничего, все устроится помаленьку, — утешал Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

— Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

— Что же ты не благодаришь Степана Романыча? — говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. — Они весьма нам могут способствовать...

— Не нужно, не нужно... — отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. — Для такой красавицы можно и без благодарностей сделать все.

Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского зароились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы.

Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а

в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

— Ну, дедушка, что новенького?

— Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... — угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на

толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе, — Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

— Вот что, Родион Потапыч, — заговорил Карачунский после длинной паузы. — Я посылал за Кожиным... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

— Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

— А это что значит: проклял?

— А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня

домой, тогда прощу.

— Ну, это ваше дело, — равнодушно заметил Карачунский. — Я свое слово сдержал... Это мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, — это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

— Это с двадцати пудов? — заметил Карачунский. — Недурно... А кто нашел жилу?

— Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, — объяснил уклончиво Зыков. — Все фотьянские... Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, — это будет очень эффектно и в

заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к

Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси!» — думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

Глава 8

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерье подала Марья.

— Одна она управится с тятенькой, — говорила девушка потерявшей голову матери, — баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

— Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. — Свою кровь не пожалел...

— Уж баушка Лукерья знает, что сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

— Ну, что у вас тут случилось? — строго спрашивала баушка Лукерья. — Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Что же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

— Иди-ка сюда, воевода, — ласково говорила старуха. — Иди... видишь, в гости к тебе приехала...

— Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

— Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

— Некогда все... Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

— У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

— Не ко времю гоститься вздумала...

— Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч, — заговорила старуха серьезно, — я к те-

бе за делом... Ты это что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожурил, постращал, отвел душу и довольно...

— Что уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

— Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, что молчишь?..

— Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, — оправдывался старик, — зато и расхлебывает теперь горе...

— И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой... Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил: разрешительную мо-

литву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить... Со своими грехами замаялись, не то что других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был не мало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились

ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии божием.

— Нет, ты ему, отец, епитимию определи, — настаивала баушка Лукерья. — Надо так сделать, чтобы он чувствовал...

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

— А теперь и о деле потолкуем, — решила баушка Лукерья. — Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей...

О. Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

— Нет, это пустое, отец, — решила баушка Лукерья. — Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит... Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить... Главное

дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и вверилась...

— Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, — заметил о. Акакий. — Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже... Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой...

— А я ее к себе возьму и выправлю, — решила старуха. — Не погибать же православной душе... Уж я ее шелковой сделаю.

— Будь ей заместо матери... — упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. — Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше...

— У меня отойдет и дурь свою бросит...

О. Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

— Славный бы попик, да молод больно...

— Ему же лучше, что и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный...

— Ну, вот что, други мои милые, засиделась я у вас, — заговорила баушка Лукерья. — Стемнелось совсем на дворе... Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть...

— Да ты верхом, что ли, пригнала? — сурово спросил Родион Потапыч.

— Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено вдосталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

— Куда ты ускорилась-то? — спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. — Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

— Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой что-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

— Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот что тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня до-

ма-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

— И любезное дело, — согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. — Одной-то мне, пожалуй, и опасливо по нонешнему времю ездить, а сегодня еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта[5] еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали что ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить...

— Собака-народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

— Вот говорят, что гусь свинье не товарищ, — шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мач-

ту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

— Тьфу!.. — отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. — Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

— Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Что только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

— Глаза бы не глядели, — с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадью. — Охальники... И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленые ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион

Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

— Помнишь место-то?.. — тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». — Много тут наших варнацких слез пролито...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

— Когда нашу партию из Расеи пригнали, — продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, — дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обыкновенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем,

так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, что без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже... Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, что в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч попрежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой.

— Привели-то нас, как теперь помню, под вечер... — продолжала баушка Лукерья. — Мужицкая каторга каменная, а наша, бабья, — деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все за-

леплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть... Этак с крайчику, слева значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жмется около меня: она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

— Молчи, ради Христа! Молчи... — простонал Родион Потапыч.

— Дело прошлое, что греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добреющий человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была... О, грехи, грехи!..

— Охальник был... — сурово заметил Родион Потапыч. — Собаке собачья и смерть.

— Понапрасну погинул, это уж что говорить! — согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. — Одна девка-катор-

жанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный...» Слезьми заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешнаго.

— Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

— А пошто же на палача Никитушку говорили?

— Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

— Сказывают, Никитушку недавно в городу видели, — говорит старуха. — Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

— Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

— Бывал он и у нас в казарме... Придет, по-

глядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то...

— Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, — перебил ее Родион Потапыч, — а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время... А теперь-то что?.. Не то что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то что будет?..

— На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шах-

ты, старуха проговорила:

— Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

Глава 9

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах:

коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

— Да вы тут совсем сбесились! — гремел старик на подгулявших рабочих. — Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

— А ты не больно того... — огрызался он из своей засады. — Слава богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть! Да...

— Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите!..

— Обыкновенно, ты ответишь, — сказал Лучок. — Ты жалованья-то пятьдесят целковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь

виноват... А с меня за двадцать-то целковых не много возьмешь.

— Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

— И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

— Ступай, пожалуйся на меня, пес! — кричал старик вдогонку лукавому рабу. — Я на твое место двадцать таких-то найду...

— А мне плевать! — слышался из темноты голос Лучка. — Ишь, как расшеперился... Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на непременном условии, что это «в последний раз». Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион

Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штегерях», а может быть, и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, — живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце,

дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипеньем и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в

кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой — золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и

делало на-караул даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой — солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» — парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны

уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

— Одна сестра с сахаром, другая с медом, — шутил смотритель, — а я до сахару большой

охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

— Что это с тобой Родион?.. Как будто ты не в себе...

— Неможется, Антон Лазарич, — сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили

Фотьянку и Нагорную сторону.

Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напоминал ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

— Не девушкой я за тебя выходила замуж... — шептали побелевшие губы. — Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

— Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

— Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно

восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось — молчал, хорошо — молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел

он дураков... И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, — подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. — Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упраздни-

ли каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал — золотник золота обходился казне в 27 рублей при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу

подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенеся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средствием, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонными заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов слу-

жил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

Часть II

Глава 10

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев — настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней зо-

лотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

— Этакое обзаведенье и задарма пропадает... Что бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все...

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика Оникова во времена его грозного влады-

чества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее...» — мечтала

иногда Дарья.

Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

— Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет...

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

— Связала я тебя, Ермолай Семеныч, — говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках. — В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене... Девка чистяк. Ох, нейдет моя смертынька...

— Разве не стало невест? — резонировал Ермошка в тон жене. — Как помрешь, сорок дён выйдет, и женюсь...

— В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч. Любую да лучшую

выбирай.

— В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю... Слава богу, и мы не в угол рожей-то.

— Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают...

— Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь...

— Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч... Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничего не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама вы-

бирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

— Ну-ка, боговы работнички, поворачивай! — покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно галдевшую толпу старателей.

— Благодетель, на тебя стараемся! — отвечали пьяные голоса. — Мимо тебя ложки в рот не пронесешь... Все у тебя, как говядина в горшке.

— А куда бы вы без меня-то делись? А?..

— Уж это ты правильно, отец родной...

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

— Шел бы ты домой, Тарас, — часто уговаривал его Ермошка, — дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

— А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

— А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что — погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

— Погодите, братцы, рассчитаюсь... — уве-

рял Мыльников. — Уж я достигну... Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

— Да ты с какой это радости расширился? — спрашивал его Ермошка. — Наследство, что ли, получил?..

— А тебе какая печаль?.. Х-хе... Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего...

— У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь...

— А что, ежели, например, богачество у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку

ломать будешь, такой-сякой... А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да этаким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

— По одежде встречают, Тарас... Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

— Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот... Вот я каков есть человек...

— Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого... Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменый Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились

старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка и сам Петр Васильич. Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменый Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным.

— Андрон Евстратыч, пусти в канпанию...

— Рылом еще не вышел... — отвечал Кишкин торжественно.

— Да ведь все равно мне же золото будете сдавать, — тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

— Уж это как господь приведет... Одно — сдавать золото, другое — добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семеныч.

— А у Мыльникова легкая?

— Пух — вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и оста-

лось неизвестным, где собственно схоронилось мутяшское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и Кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый:

— Уж я произведу... Во как по гроб жизни благодарить будете... У меня рука легкая на золото; вот главная причина... Да... Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на дру-

гой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

— Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! — кричал он. — А твоя красная бумага на помин моей души пойдет... У волка в зубе — Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказы о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

— Не надо ли партию? — спрашивали старатели. — Может, насчет того, чтобы ширп ударить...

— Нет, мы этим не занимаемся, — продолжал отводить глаза отпетый городской чело-

век. — Я по своим делам...

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

— Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотелось отведать... Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские... Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек...

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак я за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

— Да что тут говорить: выставляй прямо четверть!.. — бахвалился входивший в раж Мыльников. — Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, — вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольство-

вались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

— Ишь, как воронье, облепили кабак! — злорадствовал Ермошка. — Только и канпания... Тут ходи да оглядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку.

— Никите Яковличу, благодетелю!.. — слышались голоса раболепных прихлебателей. — Не хошь ли местечко потеплее?..

— Ладно, заговаривай зубы, — сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным

взглядом приисковую рвань. — Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю... Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали; все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, — он пил запоем, — хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

— Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

— Не те времена, Никита Яковлич, — подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребову безграничное уважение.

Глава 11

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведывавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, кры-

ша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать своим «средствием», и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маяты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы

захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти — везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды — и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что посту-

пил в приисковые шорники: и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая

старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

— И в кого ты у нас уродилась, Окся, — часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. — Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

— Такая уж уродилась, мамынька, — отвечала Окся, не разгибаясь от работы. — Вся тут...

— Ох, горе ты мое, Окся! — стонала Татьяна. — Другие-то девки вот замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь... Кому тебя нужно, несообразную!

— Бог пошлет счастья, так и я замуж выйду, мамынька... Слава богу, не хуже других.

— Ох, дура, дура...

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя

корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

— Стерва, знаешь хлеб жрать! — ругался он. — Пропасти на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

— Бесчувственная стерва... — удивлялся Тарас, измучившись боем. — Что ее учи, что не учи — один прок.

К счастью Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала — никто не знал, да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы.

Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей — событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменый.

— Милости просим, — приглашал Тарас. — Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да вызнают... Тоже народ ноне пошел, шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки... Да у меня смотри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и броси-

лась к двери.

— Эй ты, пень березовый! — остановил ее отец. — Стой, дура, выслушай перво... Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

— Ну не дура ли набитая? — повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

— Однако и дворец у тебя, Тарас, — удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть. — Одним словом, хоромина.

— А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменый должен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой

ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменых в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

— Так ты нам с начала рассказывай, Мина, — говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. — Как у вас все дело было... Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

— Был, как же, — соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. — Большая партия была...

— Это при Разове было? — справился Петр

Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

— Не перешибай ты его! — останавливал Тарас. — Старичок древний, как раз запутается... Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырни!

— Большая партия была... — продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. — В кандалах выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые... лес... Казаки за нами с нагайками... Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб-то и подмок... Оголодали, промокли... Ну, Разов нагнал — и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог... Лютый человек был. Ну, на Мутяшке-то мы цельный месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал... Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпалыскать... Ну, старец-то принял наказание, перекрестился и Разова благословил... «Миленький, — говорит, — мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить... Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца...

Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел, да и подзывает меня. «Что вы, — говорит, — понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками...» — «Как же, — говорю я, — взять его, дедушка?» — «А умеючи, — говорит, — умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя... Надо, — говорит, — чтобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да ширп бы она же указала...» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло... На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить — и нет ничего. Так ни с чем и ушли...

— Ну, а про свинью-то, дедушка, — напомнил Тарас. — Ты уж нам все обскажи, как было дело...

— Тоже старец сказывал... — продолжал Мина, с трудом переводя дух. — Он сам-то из Тайболы, старой веры... Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал

тумпасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и что бы ты думал, братец ты мой?.. — лопата как зазвенит... Мужик даже испугался... Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался... Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло, и как будто ноги — как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть... Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, на смерть начальство запороло... Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно...

— Да не дурак ли? — вздохнул угнетенно Петр Васильич. — Бог счастья послал, а он испугался...

— Не перешибай! — оборвал его Тарас. — Дай кончить.

— И сделалось мужику страшно, так страшно — досмерти... Ежели продать самородок — поймают, ежели так бросить — жаль, а ежели объявить начальству — повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все

маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

— Ах, дурак мужик!.. — воскликнул Кишкин. — Ну, не дурак ли?

— Да еще какой дурак-то: бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл... Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак...

— Удавить его мало! — заявил со своей стороны Тарас. — Да ежели бы мне бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи... Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменый даже напугался, что все накинулись на него.

— Да ведь это не я, братцы! — взмолился он, забиваясь в угол.

— Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжа-

рить на огне... Дурак, дурак!

Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивая руками и лез к Мине с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

— А мы его найдем, самородок-то, — кричал Мыльников, — да к Ястребову... Ха-ха!.. Ловко... Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой... Ведь мы то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

— Как есть родня: троюродное наплевать.

— А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю...

— Ну, братцы, надо об деле столковаться, — приставал Кишкин. — Первое мая на носу, надо партию...

— Валяй партию, всех записывай! — кричали пьяные голоса. — Добудем Мутяшку... А

то и самородку разыщем, свинью эту самую.

— Я на себя запишу заявку-то... — предлагал Кишкин.

— Конечно, на себя: ты один у нас грамотный...

— А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то, предлагал Мыльников, — она хоша и круглая дура, а честная...

— Можно и сестру Марью на такой случай вывести... — предлагал расхрабрившийся Яша. — Тоже девица вполне... Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

— Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела, — уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях.

— Они теперь совсем одурели... — коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе

щеки. — А тятенька прямо на стену лезет…

— Да разве на одной Мутяшке золото-то? — выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. — Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота…

Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

— Перестань врать, непутевая голова! — оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменый давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

Глава 12

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золото-

промышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голытьба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

— Ничего, пусть поволнуются... — успокаивал Карачунский. — По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь...

— А время-то какое?.. — жаловался Родион Потапыч. — Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял... Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они и губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романыч.

— Вздор... Попробуют и бросят, поверь мне.

Во всяком случае я ничего страшного пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

— Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать... Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его и раньше.

— Уж этот уцелеет... Повесить его мало... Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась — водой не разольешь. Рука руку моет... А что на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись... Смута такая пошла, что не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три... Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел господь дожить. Не глядели бы глаза.

— Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных рас-

спросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

— Устроил... — коротко ответил он, опуская глаза. — К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья... Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и опеределил Феню пока что...

— А потом?

— А потом уж что господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

— Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней...

— Петр Васильич? — подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

— Он самый... Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело — с Кишкиным канпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил... У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Ко-

жиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

— Конечно, построжит старик для видимости, — объясняла она старухе Маремьяне, — сорвет сердце... Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

— А как он ее запрет дома-то? — сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла.

— Запре-от? — удивилась баушка Лукерья. — Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать... Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут... Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме...

— Это ты правильно, баушка Лукерья... — туго соглашалась Маремьяна. — Хошь до кого доведись.

— Я-то ведь не неволю, а приехала вас же жалеючи... И Фене-то не сладко жить, когда

родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

— Уж ты-то помоги нам, баушка...

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жениными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было Готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошевни и выехал со двора, но повернул не на-

право, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной.

— Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? — взмолилась Феня.

— А вот узнаешь, куда...

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась: баушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла

на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

— Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, — сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты — в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

— Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, — приглашала баушка Лукерья. — Сядем рядком да поговорим ладком...

— О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось... А где у тебя змей-то кривой?

— Ох, не спрашивай... Канпанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца-краю нету. Только что и будет... Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвеич, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведенье. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь...

— Ты с нее одежу-то ихнюю сыми первым делом... Нож мне это вострый. А ежели нагонят из Тайболы да будут приставать, так ты

мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

— Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч... Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

— Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать... Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась чего он боится, именно встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

— Приеду как-нибудь в другой раз... — глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. — А теперь мутит меня... Говорить-то об ней даже не могу. Ну, прощай...

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

— Баушка, родненькая, мне страшно... —

несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

— Страшнее того, что сама наделала, не будет...

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминаючи любовные речи Акинфия Назарыча... Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

— Не о себе ревешь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть... Недаром слово молвится: до порога.

— Хошь бы я словечко одно ему сказала... — плакала Феня. — За привет, да за ласку, да за его любовь...

— Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, — ворчала старуха, свертывая дареное платье. Им ведь чужого-то века не

жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок... А ты у меня порви, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

— А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей, — рассказывал в темноте баушкин голос. — Сегодня одна, завтра другая... Конечно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги, тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который и взыску нет: чего с каторжанок

взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, чтобы польстилась в другую веру уйти... Терпеть — терпели всячину, а этого не было. И бога не забывали и в свою православную церковь ходили... Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и поживем. Вот это какое дело... расейский народ крепкий, не то, что здешние.

Феня внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка принесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

— А ты того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец, и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещенье правильное: за-

губила бы Маремьяна ангельскую душеньку — только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?.. Другая девушка не сохранит себя, — вон какой у нас народ на промыслах! — разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет... Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, что у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

— Баушка, миленькая, я думала, что... Очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь...

— А Маремьяна?.. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, закостенела она в своей старой вере...

— А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить...

— Тогда другой разговор... Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени...

Каждый вечер происходили эти тихие лю-

бовные речи, и Феня все больше проникалась сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернулась бы птицей и полетела... Хоть бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиным о золоте.

— Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч, — пригласил он наконец смущенного Кожина, — может, дома-то лучше сговоримся...

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

— Вот что, друг милый, — заговорил Петр Васильич, — зачем ты приехал — твое дело, а только смотри, чтобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай...

— Тише воды, ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду...

— То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула Феню на свою руку... Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать — хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

— Вот что, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь, — обрезала баушка Лукерья. — Захотел Феню повидать? Так и говори... Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял

неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

— Феня... — зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

— Не подходи, Акинфий Назарыч... — остановила она. — Что тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

— Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

— Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч... Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели...

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

— Хочу, чтобы все по нашей вере было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крякнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно

мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

— Бог тебе судья, Федосья Родионовна... Не так у меня было удумано, не так было сложено, душу ты во мне повернула.

— Зачем ты ее сомущаешь? — остановила его баушка Лукерья. — Она про свою голову промышляет...

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

— Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя...

— Ладно, я еще сама с тобой поговорю... Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

— Не о чем, видно, нам разговаривать-то, — решил он, прощаясь. — Пропадай, голова, ни за грош, ни за копеечку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

— Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

Глава 13

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, — все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровой даче, а это требовало и времени и уменья.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем, — старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на доро-

ге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкапик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

— Всем сестрам по серьгам! — говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. — Что такое теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хи-хи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет... всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались — надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и быльем поросло, а тут вдруг сюрпризец... Пожалуйте, на цугундер, имярек! Хи-хи... Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет... Погодите, всех

выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка... Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и какой: добренький, старенький, бедненький... Пешочком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на пись-

менный стол, сказал, что рассмотрит ее.

— Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие, — смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. — Маленький человек... Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко... В горных делах царила фамилия Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

— Ну что, Андрон Евстратыч? — спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг. — Каково прыгаешь?

— Да вот думаю золотишко искать в Кедровской даче.

— Разве лишние деньги есть?

— На мои сиротские слезы, может, бог и пошлет счастья...

— Что же, давай бог нашему теляти волка поймати. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим...

— Знаю я вашу дружбу...

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в со-

седнюю комнату и строго спросил:

— Ты это что, сбесился, Андрошка?

— А что?

— А вот это самое... Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

— Не поглянулось?..

— Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался... Его не проведешь.

— Вот что, Илья Федотыч, — заговорил Кишкин деловым тоном, — теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

— Ах, пес!..

— Вот тебе и пес... Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите. И походите, даже очень походите... А пока что, думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

— Не дадим, — коротко отрезал Илья Федотыч.

— Нет, дашь... — так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. — В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться...

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

— Ну, черт с тобой, делай заявку...

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч трухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что отсюда до грани Кедров-

ской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

— Что мы разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? — выкрикивал Петр Васильич. — Ему хорошо, так и другим тоже надо... Как собака лежит на сене: сам не ест и другим не дает. Продался канпании и знать ничего не хочет... Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал...

— По кабакам бы меньше пропивали!

— Кабак тут не причина, маменька... Подшибся народ вконец, вот из последних и канпанятся по кабакам. Все одно за канпанией-то пропадом пропадать... И наше дело взять: какая нам такая печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро до-

ждешься... В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

— Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, — весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

— А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич, — ответила старуха, — жить живи себе на здоровье, а только боюсь я...

— Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

— Да как же, начнешь золото скупать... И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

— Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, — успокоил он, — у меня один за-

кон для всех: кто из рабочих только нос покажет с краденым золотом — шабаш. Чтобы и духу его не было... У меня строго, баушка.

— То-то, миленький, смотри...

— В оба глядим, баушка, где плохо лежит, — пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. — Не бойся, а только живи веселее, — скорее повесят...

— С тобой, с разговором, и то повесят...

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

— Ну, это не фасон, Петр Васильич, — ворчал Кишкин. — Ты что раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

— Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька, — отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

— Не врн уж в глаза-то, а то еще как раз подавишься...

Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, насос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Канун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

— Это твоя работа, анафема!.. — корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. — Вот сколько народу обоврал...

— Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городу деньги легкие... Пусть потешатся.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхом, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту, — его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

— Ты у меня, оборотень, смотри!.. — пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. — В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменый, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а

остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно вожаком служил Мина Клейменый, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

— Ты, дедушка, не ошибись, — упрашивал Кишкин. — Тоже не молодое твое место... Может, и запамятовал место-то?

— Чего его запамятовать-то? — обижался Мина. — Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордон, а мы повернем влево, к Каленой горе...

— Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

— Ах, какой же ты, братец мой, непонятный! Ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

— Смотри, старый, не ошибись...

Кишкин ужасно волновался и подозри-

тельно оглядывал каждого встречного.

— А где же Ястребов-то? — спохватился он. — Ах, батюшка... Как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет.

— Чай остался пить с Ермошкой... — объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четыреста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани, — это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили и

приходилось людям и лошадям брести по вязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазнило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

— Это твоя работа... — шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму. — Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину чернем лопаты.

— Ну ты, скотинка богова... — ворчал он. — Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла повертка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

— Мина, смотри, не ошибись! — кричали

голоса. — Кабы на Малиновку не изгадать...

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех.

— Тятька, кто-то на вершной проехал, — заявила Окся, показывая на повертку к кордону. — Остановился, поглядел и поехал...

— Да куда поехал-то, чучело гороховое?

— А за вами...

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

Глава 14

Ночь на первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермошка, и мещанин Затыкин, и

еще какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

— Руби столбы, ребята! — командовал Кишкин, размахивая руками. — До двенадцати часов поставлены... Не по закону!

— Врешь, у тебя часы переведены! — кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. — Не тронь мои столбы...

Поднялся шум и гвалт... Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

— Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние!..

Темнота увеличивала суматоху. Свои не

узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

— Что за драка? — крикнул он. — Убирайтесь вон с моего места, дураки!..

— Давно ли оно твоим-то стало? — огрызался Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. — Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился.

— Ну, ударь?!.. — ревел Кишкин, наступая. — Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показать...

— Не хочу! — отрезал Ястребов. — Вы в моей заявке столбы-то ставите... Вот я вас и уважу...

— Но-но-о?

— Да уж видно так... Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

— Андрон Евстратыч, надо полагать, Ер-

мошка бросился с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит, — шепотом сообщил Мыльников. — Верно говорю... Должон он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот так дали маху, нечего сказать...

— Вот что, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, — шепнул Кишкин, — может, скорее придешь... Да не заплутайся на Маяковой слани, где повертка на кордон.

— Уж и не знаю, как мне быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

— Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! — пригрозил Кишкин. — Лупи во все лопатки...

— А как же, например, Окся?

— Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили

друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

— Так где казенные-то ширпы были? — допытывался он.

— А вон туда, к самой горе...

— И старец там лежал под елочкой?..

— Там... Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем...

— Ну, а как насчет свиньи полагаешь? — уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. — Где ее старец-то обозначил?..

— Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку...

— На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

— Это он вообще насчет золота...

— Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

— Может статься... Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

— Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

— Разве говорил? Ну, значит, в лесу...

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

— Вставай ты, барышня... Возьму вот орясину, да как примусь тебя обихаживать.

— Отстань!.. — ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. — Умереть не дадут...

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменый пошел за ними. Никто из партии не слыхал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

— Один, видно, заполучить свинью захотел, — возмущался Петр Васильич, продира-

ясь сквозь чащу. — То-то прохирь: хлебцем вместе, а табачком врозь... Нет, погоди, брат, не на таковских напал.

С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменый привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казенным разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и наконец повел к Мутяшке.

— Ну, народец!.. — ругался Петр Васильич. — Все один сграбастать хочет...

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменый вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

— Ну, ищи!.. — толкал Кишкин ничего не понимавшую Оксю. — Ну, чего уперлась-то, как пень?..

— Да я тебе разве собака далась?! — огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. —

Ищи сам...

— Ах, дура точеная... Добром тебе говорят! — наступал Кишкин, размахивая короткими ручками. — А то у меня, смотри, разговор короткий будет...

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

— Ах, дураки, дураки!.. — заливался Ястребов, качая головой. — То-то дураки-то... Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

— А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич, — ответил Петр Васильич с важностью, — дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

— Боишься, что вашу свинью найду?

— Это уж не твоего ума дело...

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять

схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина Клейменый стоял на одном месте и крестился.

— С нами крестная сила! — шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

— Слышал? Как он захохочет...

— Не поглянулось ему... Недаром старец-то сказывал, что зарок положен на золото. Вот он и хохочет...

— А у меня инда мороз по коже...

На месте действия остались Ястребов и Петр Васильич.

— Все я знаю, други мои милые, — заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу. — Бабьи бредни и запуки, а вы и верите... Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся — только и всего. Не положил — не ищи... А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом... Напрасно ты ввязался в эту свою канпанию: ничего не выйдет, окромя того, что время убьете да прохарчитесь...

Петр Васильич и сам думал об этом же, по-

чесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

— Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

— А такая... Ты от своей-то канпании не отбивайся, Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим — это другое. Понял теперь?..

— Как будто и понял, как будто и нет...

— Ладно, ладно... Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этаких делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил — так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевом мысу и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

— Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу... А Мина Клейменый идет за ней да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха...» То-то идолы!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомандовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колду-

ны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает... И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы он не захохотал. Учуяла Оксюха золотую свинью было совсем, а он как грянет, как захохочет...

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

— Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богачества — один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой...

— Отстань, смола! — огрызался Кишкин. — Что пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал бы себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миля-

ев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевом же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки по Мутяшке с ее притоками — Худенькой и Малиновкой, а также по Меледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину — везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором

родились и выросли; рядом с ними строгали и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

— Строгали и ходят-то, так ровно на костылях, — смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. — В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской...

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

— Обыщем золото, а ухватят его хозяева, —

роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. — На них не наробишься... Главная причина во всем — деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

— Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! — громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. — Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал... Не велики деньги, а так и помрешь без них.

— Уж это ты верно... — уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем. — Люди родом, а деньги водом. Кому счастки... Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст — за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслуши-

вала разговор, пока не выдал ее присутствия хрустнувший под ногой сучок.

— Ты, уродина, чего тут делаешь? — накинулся на нее Матюшка.

— Ишь, подслушивает, — заметил кто-то из рабочих. — Дура, а на это смысел тоже имеет...

— Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморошная какая-то...

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

— Ай да Матюшка! Уважил барышню... То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянулась собаке палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся засты-

ла... Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

Глава 15

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, — по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от 60 до 100 рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

— Будет день — будет хлеб!.. — утешал он

себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, — все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет... Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями...

— Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин! — вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. —

Стали бы ухаживать за мной... лебезить... Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхватано по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

— Для счету прихватил, — объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. — Что ему, бо-

лоту, даром оставаться... Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеем мы, видно, с тобой заодно...

— Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич...

— Кто гусь-то, по-твоему?

— А уж как это тебе поглянется...

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет... С ним появлялся иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники — мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

— Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать, — подшучивали над Ястребовым. — Как пить дашь.

— Было бы что скупать, — отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. — Вашего-то золота кот наплакал... А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей... Так ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку...

— Было, да сплыло, — огрызался Кишкин. — Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь...

— А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть... Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

— Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь... Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

— Это ты правильно... ха-ха!.. — засмеялся

Ястребов. — Не было бы разбойников, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

— Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон Евстратыч... Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать... Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу... Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три целковых.

— Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

— Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

— Утешил ты меня, Никита Яковлич... Благодетель, говоришь?!.. Ха-ха... В самую про-

порцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие... А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

— Что же это Мыльникова нет? — по нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича. — Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльникова все нет.

— Ужо я сам схожу... — предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

— Ну нет, брат, шалишь! — озлился Кишкин. — Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать...

— Да ведь надо в волости объявиться? — сказал Петр Васильич. — Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои... Это тоже не модель.

— Ладно, сказывай... — ворчал Кишкин. — Знаю я вас, охаверников. Уж только и нар-родец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам

пойду и все устрою.

— Да ведь ты сорок-то верст две недели проползешь, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге...

Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

— А я думал, что Андрона Евстратыча пымал за ногу-то, — объяснял Мыльников. — По ногам-то вы схожи...

— А ты разуй глаза-то сперва... Где пропадал, путаная голова?

— Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

— Прихожу это я на Фотьянку, чтобы в волости в книгу записать заявку, — рассказывал он слезливым тоном, — а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал...

— Ну-у? Да не подлец ли... а?! Ах, жулик...

— Верно говорю... Значит, теперь, так ска-

зать, и наша заявка пропала и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились — он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас...

— Ну, это он врет! — сказал Кишкин. — Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону... Мы ему еще утрем нос. Ну, рассказывай дальше-то...

— Что дальше-то, — обезножил я, вот тебе и дальше... Побродил по студеной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

— Ой, врешь! — усомнился Петр Васильич. — Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то...

— Одинова, это точно, согрешил... — каялся Мыльников. — Силком затащили робята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, напримерно, и вдруг трах! следователь... Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следователь не простой, а важный — так и называется: важный следователь.

— Это что же, по твоей, видно, жалобе? — уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. — Вот так крендель, братец ты мой... Ловко!

— Ну, рассказывай, — торопил Кишкин, принимая деловой вид. — Не важный следователь, а следователь по особо важным делам...

— А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, что заварил ты кашу... Ка-ак мне это самое сказали, что гумага и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик... Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следователь, напримерно, ко мне: «Вы Тарас Мыльников?» — «Точно так, ваше высокородие...» — «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» — «Точно так-с...» — «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высокородие... Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

— Вот и вышел дурак! — озлился Кишкин. — Чего испугался-то, дурья голова? Небось, кожу не снимут с живого...

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

— Да ты послушай дальше-то! — спорил Мыльников. — Следователь-то прямо за горло... «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» — «Не подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил — это было...» И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул... Как олень летел!

— Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

— Испужался, Андрон Евстратыч... И сюда-то бегу, а самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот те Христос...

Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вари-

антами и украшениями.

— Что же ты молчишь, Петр Васильич? — спрашивал Кишкин.

— А что мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги... Поволокут теперь по судам.

— А где моя Окся? — спрашивал Мыльников в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

Глава 16

Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, — это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик

Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи, — все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

— Кабы раньше жилка-то провернулась... — повторял Кривушок. — Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи... Куды мне теперь богатство?..

Около Кривушки собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство.

— Ты бы хоть избу себе новую поставил, — советовал Фролка, — а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже

вот насчет одежи...

— Угорел я, Фролушка, сызнова-то жить, — отвечал Кривушок. — На что мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю... С собой не возьмешь. А касаемо одежи, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатах...

Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

— Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой, — предупреждал Карачунский. — То же будет, что с Спасо-Колчеданской...

— А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла

вглубь... Он то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то что на Краюхином увале...

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка, — последний не хотел признавать Рублихи.

— Обманет она, эта самая Рублиха, — упрямо повторял Лучок.

— Да почему обманет-то?

— А так... Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати саженях... Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно... Такая надежнее, а эта игрунья: сегодня позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель...

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новее дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

— Уж будьте спокойны, Степан Романыч, — уверял Зыков. — Голову отдам на отсеченье, что Рублиха вполне себя оправдает...

Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженях на двадцати в глубину. Таким образом зараз решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях — вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по при-

близительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих была построена конторка, где поселился в одной каморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни, — одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара — сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при

страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около 20 пудов золота.

— На Фотьянской россыпи больше ста пудов добыли, — повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность Дернихи. — Вот ужо Рублиха наша ахнет, так это другое дело...

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо умеючи взять, да не всякому оно дается в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он за-

кладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик — никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбочится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Положим, старик уважал Оникова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно: приедет в белых перчатках и давай распоряжаться — это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе.

— Приедет, папиросу выкурит — и вся тут работа, — жаловался Зыков Карачунскому. — Ежели бы ты сам, Степан Романыч...

— Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать... Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фотьянки ру-

кой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

— Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху — только его и дела, — ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. — У другого такой глаз, что его и близко-то к шахте нельзя пущать... Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту...

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

— Это по делу Кишкина? — спросил он.

— Видно, по ему по самому... По первоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял...

Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала Зыкова, а главное, не вовремя она явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

— Следователь-то у Петра Васильича в дому остановился, — объяснил сотник. — И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требовает к себе...

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнуло незаметно. Перед избой Петра Васильича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменый, и Яша, и Турка, и Мыльни-

ков — одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

— Тятенька!.. — вскрикнула девушка и остановилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию — что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему...» — подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васи-

льич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

— А, очень приятно... — оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. — Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

— Вы Родион Зыков?

— Точно так-с...

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

— Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?

— Точно так-с... Я уж сорок лет состою главным штейгером.

— Ага... — протянул следователь, быстро окидывая его глазами. — Тем лучше... Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите,

когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

— Разрабатывался...

— Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? — повторил следователь.

— Годом не упомню, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было, — ответил без запинки Зыков.

— Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно... А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

— Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе — мы не обычны знать, — до конторы я никакого касательства не имел и не имею...

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато ска-

шивая глаза на Зыкова, и проговорил:

— Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортички.

— Да ты не путляй, Шишка! — разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. — Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, — ты и отвечай...

— Вы должны отвечать только на мои вопросы, — строго заметил следователь.

— А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? — ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

— Это к делу не относится... — заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

— Вы его под присягой спросите, господин следователь, — подговаривал Кишкин, осклабляясь. — Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках...

— Это уж мое дело, — ответил следователь, продолжая писать. — Господин Зыков, так вы

не желаете отвечать на мой вопрос?

— Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю... — заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. — По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным... Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а что они там в конторе делали — я неизвестен. Да и давно это было... Ежели бы и знал, так запамятовал.

— Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

— Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, — ядовито заметил следователь. — Вам должно быть ближе известно, как велись работы... Старатели работали в Выломках?

— Не упомню, ваше высокоблагородие...

— Так я вам напомню: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету рабо-

ты.

— Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие...

— Это все равно, только слова разные...

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков — главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских, а затем подновление казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый.

Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство,

причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

— Мы ему башку отвернем, старой крысе! — ругались рабочие. — Какое время-то стоит — это надо подумать...

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина...

— Ты что же это, Петр Васильич? — корил его Кишкин. — Как дошло до дела, так сейчас и в кусты...

— Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратыч...

— Ладно... Увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже у следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом заявлял:

— Господин следователь, у меня лицо чистое... Ничем я не замаран, а чтобы насупротив совести — к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников...

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина все-

возможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

— Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! — взмолился наконец упрямый старик. — Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

— Вы сами виноваты, что затягиваете дело...

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чудеса, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, — сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточива-

лись, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ сходился со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньгу фотьянские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

Глава 17

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все «господа»: и Ястребов и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала.

— Ты уж, голубка, постарайся... — ласково говорила баушка Лукерья. — Ноги-то у тебя молодые...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по раз-

ным углам, — и только. А тут деньги повалили сразу... Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро, — ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебрушки. Баушка Лукерья с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, что господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

— Чего ты сумлеваешься, глупая? — усовещивала ее старуха. — Дикие у них деньги... Не убудет, небось, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновенье очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая, так чужая...» — с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

— Старайся, милушка, и полушалок куплю, — приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени. — Где нам, бабам, взять денег-то... Небось, любезный сынок Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе... Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

— У вас здесь, сказывают, веселье, не то

что у нас: сидишь, даже одурь возьмет... Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али жаловаться начнет, а я как очумелая... Завидно на других-то делается.

— Тятенька-то сколько разов был у нас, — рассказывала Феня. — И не глядит на меня... Хуже чужого.

— И домой он нынче редко выходит... С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак... Дома-то все равно нечего делать.

Рассказывала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

— Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке, — говорила она сквозь слезы. — Молодой он, горе-то скоро износит... Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

— Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч... В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да по-

сиди, а они везде пошли да поехали... Небось, найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

— Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то, — завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру. — Тоже, подумаешь, счастье людям... Мы вон за богатых слывем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет. Тятенька-то не расщедрится... В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся... Иголки не на что купить.

— Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

— Ну, сказывали, что и тебе тоже перепадает... Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили, — тот двугривенный даст, другой полтину...» Побожился, что не врет.

— Я баушке Лукерье все отдаю, Марья... На что мне деньги?..

— Вот уж это ты совсем глупая... Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обжаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отда-

вай. Себе оставляй... Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей...

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

— Я баушку Лукерью ввек не забуду, — говорила Феня. — Она меня призрела, приголубила... Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались, благодаря этому разговору, довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка И даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван свидетелем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

— Пойдем, касатик, в заднюю избу... — предложила баушка Лукерья. — Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

— Спасибо, бабушка, — охотно согласился Карачунский.

— Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку... — говорила заученным тоном старуха. — Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему, действительно, приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на дороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

— Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? — спрашивал удивленный Карачунский. — Вот приятная неожиданность...

— Я уж давно здесь... у баушки Лукерьи...

— Ага... — протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. — Так... Что же, дело прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самовар-

чика.

— С-сею минуту, касатик...

Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

— Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого взгляда.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

— Вы смеетесь, Степан Романыч... — тихо прошептала она со слезами на глазах. — Не до красоты мне.

— Да, да... Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?.. Да? Ну, что же делать... В жизни приходится со многим мириться. Гм...

Он присел к столу и своим душевным голосом начал расспрашивать Феню, давно ли она

здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

— Бедненькая... — еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке. — Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

— Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

— Ничего, касатик... Пока бог грехам тер-

пит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

— Что вы, Степан Романыч...

— За хлопоты: я ничего даром не люблю брать...

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

— Ну-ка, кажи, что он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

— Мамынька, хоть издали покажи, сколько он дал!.. — упрашивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась — она развернула скомканную ассигнацию при всех.

— Пять цалковых!.. — изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери. — Мамынька, что же это такое? Ежели, например-но, ты все деньги будешь загробаздывать...

— Не твое дело!.. — зыкнула старуха. — Разве я твои деньги считаю?..

— Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька... Кто у нас, например-но, хозяин в дому?.. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

— Нет, нет! — сказала старуха с искаженным лицом. — Мне!.. Мне!..

— Мамынька, побойся ты бога!

— Уйди от греха, а то прокляну!..

Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей... Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

— Степан Романыч, напредки милости просим!.. — бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. — На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напиться... молочка... Я, зна-

чит, здешней хозяин, а Феня моя сестра. Мы завсегда...

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

— А ты собачкой за ним побеги, Петр Васильич... Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него как заиграл...

Часть III

Глава 18

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом од-

на вековушка Марья с подраставшей Наташкой, — последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

— Да что это с тобой попритчилось? — недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. — Какой бес поехал на тебе?..

— Чему радоваться-то у нас? — грубила Марья... — Хуже каторжных живем. Ни свету, ни радости!.. Вон на Фотьянке... Баушка Лукерья совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят... Фене баушка-то уж второй полушалок обещала купить да ботинки козловые.

— А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать... — корила ее мать. — Достаточно натерпелась всего Феня-то.

— Чего она натерпелась-то? Живет да радуется. Румяная такая стала да веселая. Ужо, вот как замуж выскочит... У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба... Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидел Феню и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю...»

— Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет... С пьяных глаз через чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз... Такие ледащие бабенки живучи.

— Не Ермошка, так другой выищется... На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето сколько новых изб поставили. Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое веселье поднимается... Наши приисковые гуляют.

— Эк тебе далась эта Фотьянка, — ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. — Набежала дикая копейка — вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, у кого велись.

— Много денег на Фотьянке было раньше-то... — смеялась Марья. — Богачи все жили, у всех-то вместе одна дыра в горсти... Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не

умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

— Петр Васильич, сказывают, больно что-то форсит!..

— Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, — так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег дело до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому что все им отдает...

— И то дура... — невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. — Вот нам и делить нечего... Что отец даст, тем и сыты.

— Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку... — со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в няньках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедов-

ского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец, Яша, в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежи и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел.

— Ну, показывай золото... — приставала к нему Устинья Марковна. — Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

— Погоди, мамынька, будет и золото, — коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь. — Тогда сама увидишь...

— Вот затощал ты, Яшенька, это-то я вижу... Ох, и проклянённое ваше золото, ежели разобрать. А где Мыльников-то?

— Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежда: и ленив, и вороват.

— Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на

шахту, по пути ведь...

— Нет, мамынька, достаточно с меня... Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля... Сам большой, сам маленький...

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка и маленький Петрунька так и повисли на отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятишками куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

— Тятенька, золотой, возьми меня с собой! — каждый раз просила Наташка. — Тошнехонько мне здесь...

— Погоди, возьму... Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

— Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать, — я все умею.

— А Петрунька как?

— И Петруньку с собой возьмем...

— Погоди, говорю.

— Да, тебе-то хорошо, — корила Наташка, надувая губы. — А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит... Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала... Уйду в город, да в горничные наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

— Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куды без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Анна. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес.

Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся...

— Что вы, сестрица Анна Родионовна! — уговаривал ее Яша. — Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого...

— Знаю я, о чем вы шепчетесь! — выкрикивала Анна. — Трое ребятишек на руках: куды я с ними деваюсь? Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь...

— Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы: бросил...

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились в одно причитавшее и ревевшее целое.

— Да перестаньте вы, бабы! — уговаривал Прокопий. — Без вас тошно...

— Я тебе, сомустителю, зенки выцарапаю! — ругала Яшу сестрица Анна. — Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь...

В сущности, бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей, действительно, велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

— Жизнь треклятая! — проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. — Очумел я с бабами, Яша...

— Погоди, зять, устроимся, — утешал Яша покровительственным тоном. — Дай срок, утвердимся... Только бы одинова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади железные путы... Знаю по себе, Проня... А в лесу-то мы с тобой зажили бы припеваючи... Надоела, поди, фабрика-то?

— Хуже смерти... Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивон Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

— Туда же расхрабрился, ворона! — выкрикивала она. — Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

— Будет тебе, Анна... Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с кнутиком.

— В гости приехал, тещенька... — объяснил он. — Пусти-ка в избу, дельце есть маленькое.

— Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

— Говорю, дело...

Когда Марья выскочила отворить ворота,

она была изумлена еще больше: с Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

— Не тронь его... — объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. — Не бойсь, не потронет.

От Мыльникова по обыкновению пахнуло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал:

— А новость слышала, Марьюшка?

— Какую новость?..

— А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно перед ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова.

— Устинье Марковне, любезной нашей теще, многая лета... — заговорил Мыльников с

пьяной развязностью. — А слышала новость?

— Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас... — причитала Устинья Марковна. — Не до новостей нам... Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня что оборвалось в середке. До смерти я тебя боюсь... С добром ты к нам не приходишь.

— Это уж не моя причина, тещенька...

— Да говори толком-то! — понукала его Марья, сгоравшая от нетерпенья. — Ну, чего принес?

— А ты вот его спрашивай, — указал Мыльников на Кожина. — Мое дело сторона... Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше бесчестья...

— Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

— Окся-то моя определилась к баушке Лукерье, — проговорил наконец Мыльников, удушливо хихикая. — Сама, стерва, пришла к

ней...

— А как же Феня? — зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

— Приказала долго жить... тьфу!.. То бишь, жива она, а только тово...

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

— Да говори ты толком... — приставал к нему Мыльников. — Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори... И с собой ничего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

— У Карачунского она... — прошептал наконец Кожин. — Своими глазами видел. В горничные нанялась...

Он ударил кулаком по стулу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла:

— У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Что-нибудь да не так...

— Нет, так!.. — ответил Кожин. — Извест-

но, какие горничные у Карачунского... Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели... вы!.. Феня, моя голубка... родная... Что ты сделала над собой?..

— Убьет он Карачунского, — спокойно заметил Мыльников. — Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

— Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

— А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мне жена. Видеть ее не могу... День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь человек стал: в яму бросить — вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому, — у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю... Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит. Что тут со мной было — и не помню, а вот, спасибо, Тарас меня из кабака вытащил.

— Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

— Не упомню, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит... Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная... Фенюшка, родная, что ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

— Ну, пошли!.. — удивлялся Мыльников. — Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот... Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч... От живой жены о чужих бабах не горюют...

— Отстань... убью!.. — шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

— А что Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? — повторяла Устинья Марковна. — Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать... У всех на виду наше-то горе!

Глава 19

Мыльников, действительно, отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

— Ты меня тут подожди, — уговаривался Мыльников. — Я и Феню к тебе приведу... Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю...

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

— Мне Федосью Родивоновну повидать, своячину... — упирался Мыльников в дверях. — Одно словечко молвить...

— Ступай, ступай! — напирал Ганька. — Я вот покажу тебе словечко... Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Ка-

рачунский.

— Ваше благородие, Степан Романыч... — взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. — Одно словечушко молвить.

— Ну, говори... — коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. — Что тебе нужно, Тарас?

— Прикажите Ганьке уйти... Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

— Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч... Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки... А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени, Кожин грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь... Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало...

— Я Кожина не боюсь, — спокойно ответил Карачунский. — И даже готов объясниться с

ним.

— Что ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться... Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже, — прибавил он совершенно другим тоном, — уж так и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, что тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

— Нет, не могу... — решил Карачунский после короткой паузы. — Отвести тебе деляночку, — и другим тоже надо отводить.

— Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек, — с нахальством объяснял Мыльников. — Уж я бы постарался для тебя.

— Нет, не могу... — еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

— Степан Романыч, дозвольте мне перего-

ворить с зятем?

— Нет, это лишнее, — ласково отговаривал Карачунский. — Я уже сказал все... Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины... Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дожидавшегося у ворот Кожина.

— И увезу, а ты мне сруководствуй деляночку на Краюхином увале, — просил в свою очередь Мыльников. — Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка... Ну ее к черту! И канпания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильич. Такая кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и

золото для него скупает... Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь... В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься...

— Дома-то у нас ты был, Тарас?

— Сейчас оттуда... Вместе с Кожиным были. Ну, там Мамай воевал: как учали бабы реветь, как учали причитать — святых вон понеси. Ну, да ты не сумлевайся, Фенюшка... И не такая беда изнашивается. А главное, оборудуй мне деляночку...

— А что мамынька? — спрашивала Феня свое. — Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас... Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка...

— Перестань печалиться, глупая, — утешал Мыльников. — Москва нашим-то слезам не верит... А ты мне деляночку-то охлопочи. Изнищал я вконец...

— Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей... Пусть не печалится и меня не винит: такая

уж, видно, выпала мне судьба злосчастная...

— Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мне деляночку... Ведь мы не чужие, слава богу, со Степаном-то Романычем теперь...

При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся.

«Эх, бабы, всех-то вас взять да сложить вместе — один грех выйдет».

— Эй ты, галман, отворяй дверь! — вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. — Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?.. Я вас всех научу, как на свете жить!

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам.

— Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, — объявил он Кожину с приличной торжественностью. — Совсем ведь Феня-то оболоклась было, да тот змей-то не пустил... Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело.

Знаешь, что я придумал: надо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерьи невозможно...

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

— Битый небитого везет, Ермолай Семеныч...

— Скоро ли тебя повесят, Тарас? — ответил Ермошка в тон. — Я веревку пожертвую на свой счет...

— Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят...

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

— Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было... Ну, выпил стакашик гос-

подского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно? А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар... Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась... Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям...

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, — это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

— Ты куда прешь-то ни свет ни заря? — накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. — Дня-то тебе мало, шатущему?

— Об Оксе больно соскучился, баушка... — врал Мыльников, не моргнув глазом. — Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина...

— Воду на твоей Оксе возить — вот это в самый раз, — ворчала старуха. — В два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарас, никак с ночевкой приехал? Ну нет, брат,

ты эту моду оставь... Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, — говорит, — корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся...» Так напрямки и отрезал.

— Вот так уважил... Что же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от родственников... Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

— Сделай милость, бери... Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

— Ах, боже мой... Вот так роденьку бог дал!.. — удивлялся Мыльников, распоясываясь. — Я сломя голову к тебе из Балчугов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила...

— Да ты с какой радости разгонялся-то?

— А я с Кожиным цельных три дня путался. Он за воротами остался... Скажи ему, баушка, чтобы ехал домой. Нечего ему здесь делать... Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее

выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

— Этакие бесстыжие глаза... — подивилась на него старуха, качая головой. — То-то путаник-мужичонка!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит... Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой-то Фени... Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало... Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить постояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до сле-

дующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, — он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

— Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, — врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. — «Скажи, говорит, что скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу...»

— Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы...

— Значит, Феня ему по самому скусу пришлась... хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а что было, баушка, как я к теще любезной приехал да объявил им про Феню, что, мол, так и так... Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами — ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась, — говорят, — старая крымза, а Феню не уберегла...»

Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, что лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, но относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка — ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку. Да и маменька пусть покипятится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опохмелившись Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну.

— Куды ускорилась, сестрица?

— А баушку проведать поехала, — нехотя

отвечала Марья, понукая лошадь.

— Так-с... Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

— Поздно-с, Марья Родивоновна... Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

— Ты теперь ступай, голубка, домой, — объяснила баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе. — Спасибо, всю посуду переколотила...

— Не пойду... — упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильич.

— Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? — разъяснял он Оксе. — Надо и честь знать...

— Да что ты ко мне привязался, кривой черт? — озлилась наконец Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. — Сказала, не пойду...

— Мамынька, что же это такое? — взмолился Петр Васильич. — Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как

обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи-матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

Глава 20

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только «находом», — придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый, — последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу, — шли и ехали рабочие на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузнаваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая,

унося с собой последние следы горячей промысловой работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко, ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название Сиротки — по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

— Ты у меня смотри... — погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. — Знаешь поговорку: клоп клопа ест — последний сам себя съест...

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей Площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы просле-

дить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрышка россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховика и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

— Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, — жаловался Кишкин. — Все равно, как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работали Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменый стоял на промывке с Кишкиным. Собственно промывка — бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота,

что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное — то убавится, то прибавится. Другая беда была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом начинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу... Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громад-

ное целое, жившее одними интересами и надеждами.

— Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади, — повторял каждый день Матюшка, — а второе дело, надо нам беспременно завести бабу... На других приисках везде свои бабы полагаются.

— Окся, подлая, убежала... — оправдывался Кишкин.

Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики.

— Скучно у вас, — говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало.

— Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? — спрашивал Кишкин Петра Васильича. — День поробишь да неделю лодырничаешь.

— Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

— Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками... В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да командуй — всей и работы.

— Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, — скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. — Шутки шутишь над нашей деревенской простотой... А я как-то раз был в городу в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки.

— Обзарился, поди?.. Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заигра-

ет, как увидит деньги-то...

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик... Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

— Это у тебя что пазуха-то отдулась? — самым невинным образом спросил Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

— Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, — повторял он укоризненно. — И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

— Н-но-о?.. Это я в починку захватил...

— В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака... А ты купи маленькие вески, есть та-

кие, в футляре. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие, мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь — башка прочь.

— Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: насквозь. Каюсь, был такой грех... Одинова попробовал, а лестно оно.

— От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

— Ну, ну, без тебя знаю, — успокоил его Кишкин. — Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич... Видал, как рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело... Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие

скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть его за собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

— Ну так как же? — спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

— А все то же, Андрон Евстратыч... Напрасно ты меня весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит...

— Ладно, разговаривай...

— Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно деятельности Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось ве-

сти его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках.

— Не видали ли, братцы, мою кобылу? — спрашивал он. — Правое ухо порото, левое пнем... Вот третьи сутки в лесу брожу.

— Да ты сам-то откедова взялся? — подозрительно спрашивал кто-нибудь.

— Я с Мутяшки... У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цыгарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие — народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик.

— Шерсть-то какая у твоей кобылы?

— Да желтая шерсть... Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка...

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

— Почем?

— Три бумажки...

— На Малиновке по четыре дают.

— Много дают, да только домой не носят... А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с

необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «заплутавшегося человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богато золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сда-

валось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника 20 копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скуп-

щиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать! Почище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

— Мамынька, это ты пустила постояльца! — накидывался Петр Васильич на мать. — А кто хозяин в дому?.. Я ему покажу... Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру...

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался по-

колотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

— Надулся пузырь и думает: шире меня нет!.. — выкрикивал он по адресу Ястребова. — Нет, погоди, брат... Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух...

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал:

— Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

— Ты не показывай из себя богатого-то, — усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича, — как раз насыплем, чтобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

— А вот это самое и помешал, — не унимался Петр Васильич. — Терпеть его ненавижу... Чем я знаю, какими он делами у меня в

избе занимается, а потом с судом не расхлебаешься. Тоже можем свое понятие иметь...

— Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор... Что больно перья-то распустил?

Глава 21

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик был так увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

— Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? — спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

— Сдвиг дала жила, — так же спокойно ответил Родион Потапыч. — Некуда ей деваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачунского-соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об от-

ступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаньями и слезами, он ответил всего одним словом:

— Знаю...

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи — лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее... Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рех-

нулся.

«Хоть бы для видимости построжил, — даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. — Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Прокопий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик при-

шел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю — «пустяк» на полати, устроенные из краденых с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

— Да ты с ума сошел, безумная голова? — накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. — Куда залез-то?..

— Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой... — весело ответила голова Тараса из ямы. — Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму... Разделимся как-нибудь.

— Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

— Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку... Его спроси.

— Ну, это уж ты врешь!..

— Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти

сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы... Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он...

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

— Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! — кричал вслед ему Мыльников, — как бы самому же напиться не пришлось... Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окся, что пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой.

«Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачунский, действительно, не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю,

он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

— Эй, тятенька, шевели бородой! — покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, труд-

но сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, — уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

— Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде каторжан, — страшно сделается? Тоже ведь и в палаче живая душа... а?..

— Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, — пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогало делу. Наступившие замо-

розки увеличивали неудобства: нужно было и теплую одежду и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла все еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

— Теперь уж скоро жилка будет, — уверял самого себя Мыльников. — Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу...

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

— А черт с ней и с дудкой... Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь. Глыбко ушла жила... Должно полагать, спья-

ну наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь... Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

— Так, значит, тово... пошабашим? — спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

— Кто это тебе сказал? — воспрянул духом Мыльников, раздумье с него соскочило, как с гуся вода. — Ну нет, брат... Не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богачества отказался. Эй, Окся, айда в дудку...

— Не полезу... — решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю влоск, — надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

— Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! — орал Мыльников, устав от внушения. — Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла, — и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова кряжа на Фотьянку — околеет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

— Вот я тебя! — кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. — Я тебя выучу, как родителя слушать... То-то наказал господь-батюшка дурой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись...

Тяжело достался Оксе этот проклятый день... А когда она вылезла из дудки, на ней

нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал.

— Беги бегом, дура, согреешься на ходу! — пожалел ее чадолюбивый папаша. — А то как раз замерзнешь еще... Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону к Рублихе.

— Не туда, дура!.. — кричал ей вслед Мыльников. — Ах, дура... Не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось дома — он закладывал шнур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезан-

ная. Можно было представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

— Эй ты, птаха... — тряс ее за плечо рассерженный старик. — Не туда залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь — ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, — это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

— Из дудки только вылезла... — коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядинной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и

кофточки на каком-то собачьем меху. — Едва не околела от холоду...

— Может, и поесть хочешь?

— С утра не едала...

Разговор был вообще не сложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужину» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

— Откудова ты взялась-то, птаха?..

— А с дудки... от Мыльникова.

— Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонка... Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас... Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

— Дочь я Тарасу, Окся...

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого он уж никак не ожидал... Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

— Ну, теперь ступай... — сурово проговорил старик, не повертываясь. — Поела, согрелась и ступай.

— Вот еще выдумал! Куды я пойду-то. Тоже и сказал.

— Да ты с кем разговариваешь-то?

— Отстань, что привязался-то!.. Вот еще выискался...

Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица.

— Ведь сама пришла, птаха... — вслух думал старик, испытывая какое-то необыкно-

венное радостное настроение. — Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла...

Вся Рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся — родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, — какое уж тут золото.

— Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, — советовал подручный штейгер. — Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте... Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут...

Глава 22

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за

исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

— Жирно будет, пожалуй, подавишься...

— Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить... Вернее смерти. На золотник вышли бы.[6]

— Ладно, рассказывай... Слыхали мы про ваши золотники. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей...

— Так и не дашь?

— И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

— Ирод ты после этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Му-

тяшке, верстах в десяти от моего прииска... Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то...» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову...

Это предложение рассмешило сердитого секретаря до слез.

— Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха... Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрошка... Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно та-

кой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное — выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

— Только ты себя осрамил, Андрошка... Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас... Эх ты, чижиково горе!..

— А что, разве есть слухи?

— Ну, уж это тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую россыпь... Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

— Ах, ирод... Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч...

— Помяну в родительскую субботу...

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский за-

вод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

— Слышал новость, Андрон Евстратыч?

— Черт с печи упал?..

— Хуже... Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилу. Верно тебе говорю... Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла...

— Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

— А сам не знаю... В город мчу, а там видно будет.

— Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

— Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь... Мамынька посулила проклятие наложить, ежели не остепенюсь.

— Так едем... Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье... И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдруг

сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, — хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станется... Под этим впечатлением завязался разговор.

— Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч...

— Это вы насчет меня?

— Нет... Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал... А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богачество... Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом...

— Сотню?

— Больше...

Кожин как-то сразу прочухался от такой

большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

— Руку легкую надо на золото... — заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

— А кто фотьянскую россыпь открыл?..

— Это точно... Ах, волк тебя заешь. Правильно... Сколько тебе денег-то надобно?

— Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз...

— Пять катеринок... Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам... Что раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые... Примета такая есть.

— Это ты насчет Федосьи Родионовны?

— Об ней, об самой... Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная...

— Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все

равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня... родная... голубка...

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само полезет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксиной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои

белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал...

— Это от Кривушка отшиблась жила-то, — объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. — Он сам сказывал: «Так, грит, самоваром золото-то и ушло вглыбь...» Ну, канпания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча...

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой меч-

той Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями — садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

— Озолочу всех... — бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло, — трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

— Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим, — хвастался Мыльников. — В том роде, как была «пьяная контора»... Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик... В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стены и проговорил:

— Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться — там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фотьянку и приехал Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

— Андрону Евстратычу!.. — кричал Мыльников, размахивая шапкой. — Что больно скукожился? Хошь денег? Вот только четвертной билет разменяю в заведении.

— Эх, вино-то в тебе разыгралось, Та-

рас!.. — подивился Кишкин. — Очень уж перья-то распустил... Да и приятелей хороших нашел.

— Ох, и не говори: такая канпания, что знакомому черту подарить, так не возьмет... А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадено...

— Замучишь, только и всего, — заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. — Не к рукам конь...

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью, — девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

— Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, — уговаривался

Ермошка вперед, — сейчас же сватов зашлю...

— Андроны едут, когда-то будут, — отшучивалась Марья. — Да и мое-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семеныч.

— В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна... Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

— Вы не насчет ли золота? — спросила она его.

— Желаю попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в канпанию вступаю...

— И весьма напрасно-с, — заметил Ермошка, — пустой старичонка и пустые слова разговаривает...

Ермошка вообще чувствовал себя не в сво-

ей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать.

— А что Феня? — тихо спросил он. — Знаете, что я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям... И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай бог никому понимать...

— Вы богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч...

— Ах, пробовал... Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет... Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите... скажите, как Акинфий Назарыч любил ее... ах, как любил, как любил!.. Еще скажите... Да нет, ничего не нужно. Все равно, она не поймет... она... теперь вся скверная... убить ее мало...

— Что вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь...

— Да, да... Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная... А Феня, она хорошая... Голубка, Феня... родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видала, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала... Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах... Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

— Кто здесь хозяин? а?.. Ты о чем ревешь-то, Кожин?.. Эх, брат, у баб последнее рукомесло отбиваешь...

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

— Ступай, ступай, Петр Васильич, — наговаривала она. — Потом придешь. Без тебя тошно...

— Марьюшка, а кто хозяин в дому? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-ка-жу-у... Я, брат, Марья, с горя маненько выпил. Тоже обидно: вон какое богачество дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильича, который от зависти пировал уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

— Только товар портишь, шваль! — ругался Петр Васильич. — Что добыл, то и стравил канпании ни за грош... По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников... Руки бы тебе по локоть отрубить... утопить... дурак, дурак! Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?.. Язык тебе, подлому, отрезать...

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

— Ну, владай, твое счастье! — смеялся Ястребов. — У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит...

Глава 23

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты — и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде

отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и пр. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случилось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а, с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в са-

мых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

— Ведь это не любовь, а старость... бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю

других, выживших из ума, стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянку к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

— Позвольте мне уйти, Степан Романыч...

— Куда уйти?.. Что такое случилось?..

— Да уж так нужно... Не хочу вас срамить.

Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость... Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена — это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать — это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка... Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к

ее прошлому заныло в его душе.

— Куда же ты хочешь уйти? — машинально спрашивал он.

— В город... — коротко ответила Феня. — А там уж как-нибудь поправлюсь.

— Так... да...

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я и пришел...» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание

своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть — этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится... Усыновить ребенка — обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольстви-

ем правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней

заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

— Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут, — заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. — Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворо-

вой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив, — успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

— Что же это такое, Степан Романыч, — ворчал старик, — житья мне не стало...

— Что опять случилось?

— Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали... Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, что про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают... Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. На смех поднимают.

— Ну, это все пустяки! — успокаивал Кара-

чунский. — Другой делянки никому не дадим... Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим... Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник... Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

— И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белены объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке... Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, чтоб малый не баловался. Лето-то пошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова — вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, — хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

— Это ваши семейные дела, дедушка... Меня это не касается.

— Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты по-

тачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло... Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу... На гармонии играют, песни орут, — разве это порядок?..

— Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

— Пока ничего не обозначилось... Заложили рассечку на полдень, — все тот же ребровик.

— А штольня?

— На девятую сажень выбежала... Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, что есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положенье...

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизонтах и в разных направлениях. Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологиче-

ской картины, как в Спасо-Колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

— Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил:

— А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо говорит, самоваром оно ушло в землю... Это как?

— Однако мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась, или она... Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а, продолжая работы, можно было, по меньшей мере, выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хоть часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остано-

вить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

— Только бы нам штольню пройти... — повторял Родион Потапыч. — Тогда все обозначится, как на ладони.

— Да нечему обозначаться-то...

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее — маньяк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье — все подтверждало эту мысль.

Глава 24

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Балчуговском заводе и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно натыкался на хороший пропласт золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непре-

менно лошадью-новокупкой, новой одеждой, пьянством и новыми крышами на избах, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги...

— Не велика жилка в двадцати-то пяти саженях, как раз ее в неделю выробишь! — объяснял он. — Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, как другие прочие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь... Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «компанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим

всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял назло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

— Пусть старый черт чувствует... — хихикал Мыльников. — Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню бог дал...

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись, куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да рябятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустилась и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскину-

лась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа — едва оттащили.

— Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил... — причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. — Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротишься домой... Куда я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная...

— Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна, — уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. — Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий... Будет ему сидеть у тестя на цепи.

— Ах ты... Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только сомущаешь, пустая башка... Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

— Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А что касаемо того, что мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кои-то годы господь счастья послал... А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за канпанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой снимет... Эй, Яша, сдействуй нащет мадеры!..

— Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу, не то что пить с вами! — ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «канпания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволила себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей канпании...

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глазу на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

— У меня чтобы в самую точку, как в ка-

зенное время... — уговаривался он для внешности. — Ужо колокол повешу, чтобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка...

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то, что когда работали сначала, при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медуницами».

— Точно плюнуто золотом-то! — объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку

на золотопромывальную фабрику. — А то как масло коровье али желток из куричьего яйца...

Из ста пудов кварца иногда «падало» до фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

— И то пора бы, — согласилась Татьяна. — Все равно пропьешь деньги.

— Молчать, баба! Не твоего ума дело... Таку стройку подымем, что чертям будет тошно.

Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался на ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огор-

чения присела. Соседи поднимали Мыльникова на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадь заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникова и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство «прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать... И Петр Васильич все думал и думал... Наконец он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникова на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

— Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

— А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

— Да так... Вчуже на дураков-то глядеть тошно.

— Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого по-

близости, хлопнул Мыльникова по плечу и шепотом проговорил:

— Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю... Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По два с полтиной дам за золотник... Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак... Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, но и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

— Нет, брат, неподходящая мне эта модель, — ответил Мыльников, встряхивая головой. — Потому как лицо у меня чистое, незамаранное.

— Ах, дурак, дурак...

— Таков уродился... Говорю: не подвержен, чтобы такая, например, модель.

— Да не дурак ли... а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока

сбежался народ и их разняли.

— Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! — ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. — Давайте я его удавлю, пса...

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

— Наградил господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яшка Малый был ближе других, да глуп, Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус, — только телята его не лижут... Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в вос-

кресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

— Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казенного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? — пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. — Скучненько, поди, а?

— Сперва-то сумневался, это точно, а потом приобык...

— Оно, конечно, привычка, а все-таки... При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

— Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, — пошутил Петр Васильич. — Парень чистяк, уж это что говорить!

— Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю... — смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. — Почитай в соседях с Петром Семенычем жили...

— В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна... Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

— А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься... — шепнул Петр Васильич, моргая оком. — Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

— Так, так... — соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком. — Ну, Семеныч, теперь ты тово... ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Ма-

рья, — она его караулила здесь битый час.

— Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича, — шепнула она. — Неспроста он улещал вас... Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

— Ужо выходи вечерком за ворота... — упрашивал разгоревшийся Семеныч.

— Больно ускорился... Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

— Ты это что придумала-то, негодница?

— Баушка, миленькая... золотая...

— Я тебе покажу баушку! Фенька сбежала, да и ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то... тьфу!.. Срам и говорить-то... По сеням женихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не поймет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться... Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машинист Семеныч, а все-таки мужчина... Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила... Тятенька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он вовремя был

предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения: воры оказались хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай, так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

— Эй, Оксюха, поворачивай! — кричал он ей сверху. — Не осрами своего родителя...

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к де-

душке на Рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

— Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

— Посадить бы самого в дудку, так поглядела бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез, — отвечала Окся.

— По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу.

— А мне все одно: сади. Эк, подумаешь, испугал...

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке, — безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

Часть IV

Глава 25

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

— Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! — упрашивал он. — Может, в лесу отойду...

— Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь...

— Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

— Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составилась из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и

Яши Малого, но о них Кишкин не жалел: хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнего не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем, стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

— Посмотри, благодать-то какая! — умиленно повторял Кишкин, окидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. — Силища-то прет из земли... А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет, — торжественное мол-

чание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба, отваливалась с души... Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую — да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый — так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

— Вот, слава богу, мы и дома! — весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. — А вон и дворец...

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «пальмом», и промысловый ужин был готов.

— Чаю мы с тобой завтра напьемся, — утешал Кишкин притихшего компаньона. — Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь; от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть

больно. Местность было трудно узнать — так все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

— Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать...

— Отодрать бы ее тогда на этом самом месте, — ответил старый каторжанин. — Небось, сказала бы...

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье, — не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до ме-

ста — и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог... Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закурить и напиться чаю еще до свету. На берегу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-под льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались

тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь — где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

— Ну, братцы, с богом, — проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. — Акинфий Назарыч, давай-ка начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в

несколько раз, но воды не оказалось — болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

— Что, хорошо, Акинфий Назарыч?

— Лучше не бывает.

— То-то, тебе в охоту поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться.

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на матюшкину работу. До обеда еще прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменому.

— Эта не обманет... — задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. — Мать наша эта синяя глинка.

— Случается и пустая, — заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на самое дно, вместе с блестящим черным песочком — по-приисковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

— Поблескивает одна золотинка... — проговорил он.

— Не корыстное дело, — ответил за всех

Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек.

— Ну, так как же насчет свиньи-то, дедка? — спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменому. — Должна она быть беспременно...

— Куда ей деваться? — уверенно отвечал старик. — Только вот взять-то ее умеючи надо... К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово...

— Уползла, видно, она к Мыльникову, — подшутил Турка. — Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе...

— Ну, то другая статья, — авторитетно заметил Матюшка, закуривая цигарку. — Одно — жилка, другое — россыпь...

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

— Ох, как стрелило... — прошептал Кишкин, хватаясь за живот. — Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в становую жилу ударит...

— Это от наклону кровь в голову кинулась, — объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

— Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратыч, — посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. — Кровь-то и забило бы...

— Да еще запустить этой самой перцовки в

нутро, — прибавил Матюшка, — горошком соскочил бы...

Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохал для «прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

— И не поманило... — объяснил он равнодушным тоном. — Вот тебе и синяя глина... Надо ужо теперь по самой середке шурф ударить.

— А отчего не здесь? — спросил Матюшка. — Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить...

— Нет, здесь не надо, — решительно заявил Кишкин. — Попусту только время потеряем...

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на нарах, продолжал охать.

— Пожалуй, ты еще окочуришься у нас... — пошутил над ним Турка. — Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

— Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в средине болота шурф пробейте...

Кишкин едва дождался, когда рабочие кон-

чат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

— Господи, что же это такое? — повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. — Не поблазнило ли уж мне грешным делом...

Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь, — рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь! По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщи-

не пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

— Господи, что же это такое?.. — изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф, в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-то мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать. С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг возненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его — вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично... Сказаться боль-

ным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось... Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь... Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это совсем было лишним.

— С горя и помутился тогда, — вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

— Ну что, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

— Разнемогся совсем, братцы... — слабым голосом ответил хитрый старик. — Уж бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил... А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления...

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

— Илья-то Федотыч... Илья-то Федотыч в каких дураках! — прохрипел наконец Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. — Илья-то Федотыч...

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

Глава 26

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно

остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! — думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. — Разве толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину — опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно было бы перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится...

Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него...»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбившуюся от рук на глазах у всех.

— Ведь скромница была, как жила у отца, — рассказывала старуха, — а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему... Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него... Ох, согрешила я с этими девками!..

— Ну, что же делать, баушка... — утешал Кишкин. — Всякая живая душа калачика хочет.

— Тьфу ты, срамник!.. Ему дело говорят, а он... тьфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят...

Эта старушечья злость забавляла Кишки-

на: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят... Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестилась.

— Умненько я сделал, баушка? Комар носу не подточит... Всех отвел и остался один, сам большой — сам маленький.

— Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и дошл, что никому и не догадаться... В настоящие руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени... Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг... Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, — чтобы Кожин после не вступался... Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой народ пошел... Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Киш-

кин достал бумажку с пробой и показал блестевшие крупинки золота.

— Плохо я вижу, голубчик... — шептала баушка Лукерья, наклоняясь к самой бумажке. — Слепой курице все пшеница.

— От ста пудов песку золотника с три падет, баушка... Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать...

— Н-но-о?..

— Вернее смерти.

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

— То-то он взвоет теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми, ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории.

— А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

— Ох, и говорить-то страшно... Считай:

двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копеечка... Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

— Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь... Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

— Взять их только надо умненько, баушка... Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет открыться.

— Что ты, что ты!.. Ни под каким видом не открывайся — все дело испортишь. Загалдят, зашумят... Стравят и Ястребова и Кожина, — не расхлебаешься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

— Баушка, ссуди меня сотней-другой... Разочтемся потом. За рубль два отдам...

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

— Что ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красненьких — только и всего...

— Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, — решительно заявил Кишкин. — Его счастье — все одно, рубль на рубль барыша получит не пито — не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался... А упустить такой случай — другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

— У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка... Мне-то он, может, поверит.

— Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот и батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Киш-

кину. Выходило надвое: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полая вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, — думала тысячу первый раз старуха. — Нет, шабаш, не дам... Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

— Ну, что твой старичок? — спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. — Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку...

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то... Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее...

— А ты мне расписку напиши... — настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

— На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка...

Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всего денег оказалось меньше двухсот рублей.

— Мало... — заявил Кишкин. — Пусть старичок-то серебреца поищет.

— Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч... Окружил ты меня и голову с живой сымаешь.

— Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копеечки золотом отдам... На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

— Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой, — ее души-

ло от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила.

— Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч... Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

— В чем дело?

— Не женись на молоденькой... Ваша братья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство...

— Вот тоже придумала! — изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

— Жалеючи тебя говорю... Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне

и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью... Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильич.

— Какие такие дела завел Шишка с мамынькой? — зыкнул он на нее.

— А я почем знаю?.. Спроси сам баушку...

— У, змея!.. — зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. — Ужо, девка, я доберусь до тебя.

— Руки коротки...

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, — это был Матюшка, как она убедилась потом, поглядев из-за косяка.

С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосых», — зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх

в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

— Лукавая девка... — ворчала старуха. — Всех обошла, а себя раньше других...

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чистое, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, что Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово — разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

— Обыскали свинью-то? — приставал он к Матюшке.

— С поросятами оказалась наша свинья...

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

— А что бы ты думал, андел мой?.. — схва-

тился Петр Васильич. — Ведь ты верно... Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень...

— Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и сплавил. Не захотел поделиться... Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

— Ах, старый пес... Ловкую штуку уколол. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы натакаться на настоящее золото — никого не забуду». Вот и вспомнил... А знаки, говоришь, хорошие были?

— Попервоначалу средственные, а потом уж обозначились... Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покеда он болесть на себя не накинул и не пошабашил всю шурфовку...

— Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то... Можно ведь добыть ее и без него?

— Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно — прииск по контракту сейчас Кишкина. Кабы раньше...

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо да-

ром. С горя он спросил второй полуштоф.

— Да тебе-то какая печаль? — удивлялся Матюшка.

— А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то... ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут... Дурак, дурак!..» Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое... а?.. Ну, не дурак ли я после того? Убить меня мало, кривого подлеца...

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

— Будет баловаться, Петр Васильич.

— Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богачество было прямо у меня в дому, под носом... Ну как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же... Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало...

— Погоди печаловаться раньше времени, — тихонько заметил Матюшка. — А Киш-

кин наших рук не минует... Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть...

— Верно! — обрадовался Петр Васильич. — Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу — только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

— Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло... — ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. — Досталась

кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех натощак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

Глава 27

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, — точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодье, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зи-

му ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполовину: летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да небольшие шурфовки. Народу нечего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам — промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время.

На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

— Когда только он дрыхнет? — удивлялись рабочие. — Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

— Сбросить его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, — предлагали решительные люди.

— Не беспокойся: другой почище выищется...

— Ну, другого такого компанейского пса не сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же... Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пятачка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорб-

ление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

— Пустяки, — уверял Оников со спокойной усмешечкой. — Надо их подтянуть...

— И подтянуть умеючи надо, Александр Иваныч, — смело заявил старший штейгер. — Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразним понапрасну... Тоже и по человечеству нужно рассудить.

— Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать...

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побледнел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

— Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штегерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время... Да!

— Молчать!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион По-

тапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

— Рассуди нас, Степан Романыч, — спокойно заявил старик. — Уж на что лют был покойничек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать... Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч... Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

— Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно: ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить... Понимаете?.. Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком...

«Вот это так сказал, как ножом обрезал... — думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. — Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость...»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

— Вы... вы забываетесь, молодой человек! — проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. — Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего.

— В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков и старатель Мыльников являются вашими креатурами... Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих...

— Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня: я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера — с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо

и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

— Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны...

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменый и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили

все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

— Известно, старая конторская крыса! — рычал Матюшка. — У них у всех одна вера-то... Кровь нашу пьют.

— А вон Мыльников тоже вместе с ними старался, а теперь как взвеселил себя...

— Тоже через контору: Фенька подсдобила делянку.

— А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору... Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит... Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай...

— Удавить их всех, а контору разнести в щепы! — кричал Матюшка в пьяном азарте. — Двух смертей не будет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голытьба. Жалова-

лись на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Кара-

чунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие, шламы — это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы исправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов — это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

— Эх, Степан Романыч... — заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. — Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают...

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пу-

стили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

— Что такое случилось? — спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

— Мы не согласны!.. — крикнул чей-то голос сзади. — Достаточно...

— Что вам нужно? Объясните, кто потолковее...

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому

прямо в глаза.

— Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь... — грубо заявил Матюшка. — Мы не дадим отвал... Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья...

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал:

— Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? Из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

— Вот это так орел... — заметил наконец кричавший давеча голос. — Как топором зарубил Матюшку-то!.. Ловко... Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе

положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

— Не весь голову, Матюшка, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу... В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

— Ну вот, все и кончилось, — проговорил он, обнимая ее. — Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

— А я так боялась... Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались... злые поневоле... Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь...

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не вы-

ходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского — взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в кон-

тору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные повытчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина, — писал старик своими прямыми буквами: — подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашатались стены.

— Что с вами, Степан Романыч?.. — со страхом спрашивала Феня.

— Ничего... так...

Глава 28

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело наконец и ему самому. Главное, куда ни приди — везде на тебя смотрят, как на свой карман. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой.

— Монетный двор у меня, что ли? — выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч. — На вас никаких денег не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скаредностью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

— Тарас, будет тебе богатого-то показы-

вать! — корил его даже добродушный Яша Малый. — Над кем изневаживаешься?..

— А ты меня не учи... Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя на особицу и мало «якшил»[7] с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

— Ты это что же, Тарас? — удивился Семеныч. — Что расчет-то недодаешь?

— А так, голубь мой сизокрылый... Не чужие, слава богу, сочтемся, — бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. — Сест-

рице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня... Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим — хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пущу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю на особицу за ее развертной карахтер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только

то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно теряет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

— Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

— Как попросишь, тоже умеючи надо просить... хе-хе!.. Ишь, какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси...

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

— Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек... то есть парень...

— Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

— Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяй-

ничать будет?.. Надо и за тряпкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

— Так, так... Верно. Ай да коза... Ну, а дальше?..

— Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на все руки, а женится после Фоминой — жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться...

— Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умей ухаживать за стариком... По-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... ну, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну, и девка:

огонь бенгальский... А Марья уж опять тут — выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

— Цып, цып... — манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. — Цып, курочка!..

— Ну, этим ты меня не купишь! — рассердилась сестрица Марья. — Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты оставь...

— Цып, цып... Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

— Ах, бесстыдник...

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

— Ты, бесстыдница, чего это над стариком галишься?[8] — строго заметила она Марье. — Смотри, довертишь хвостом... Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

— Молодо-зелено, погулять велено, — заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. — И стыд девичий до порога... Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

— Когда же строиться-то мы будем? — спрашивала Татьяна каждый раз. — Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то.

— Ученого учить — только портить. Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась — вот главная причина. Никак развязаться не могу.

— Ты бы хоть Оксю-то приодел. Обносилась она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке... Даже из себя похудела девка.

— Всех ублаготворю, а Оксю на особицу... Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Канпанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то...

У Мыльникова, действительно, были серьезные хозяйственные намерения. Он даже

подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, — только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о Великом посте. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в ней, и вдруг ломать.

— А куда я-то с ребятишками денусь? — взмолилась она.

— На фатеру определю... А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки.

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и, все равно, ни-

чего не скажет.

— Да ведь я заплачу, — с гордостью заявлял Мыльников. — Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

— Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? — удивлялся Мыльников. — Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете...

— Перестань, Анна, — оговорила дочь Устинья Марковна, — не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем...

— Куда мы с ребятами-то? — голосила Анна. — Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут объедать... От соседей стыдно.

— Молчи! — крикнула мать. — Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать... Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и

пожалеть.

— И как еще напринималась-то!.. — соглашался Мыльников. — Другая бы тринадцать раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич... Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьишку-то, кабы не жилка... И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо...

— Теперь, брат, на господскую руку все наладим, — хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонялся и кричал:

— Окся, ты тут?

— Здесь, тятенька, — откликался из земных недр Оксин голос.

— То-то, у меня смотри...

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторе дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

— Куды я пойду-то, ты подумай, — усовещивала она старика. — Мужику это все одно, а девка сейчас худую славу наживет... Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить.

— К отцу ступай, дура... Не в чужие люди гоню.

— У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

— Ах, Окся, Окся... да не Окся ли?!.. Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото в Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльникова, Матюшка несколько раз говорил:

— Тарас Матвеевич, что меня не возьмешь на жилку?..

— У меня своей родни девать некуда...

— Родня — родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на

Мутяшке-то...

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам... Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

— Бить некому было старого черта! — вслух ругал Мыльников самого себя. — Еще как бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к воротам, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

— Эй, Оксюха, жива, что ли?..

Ответа не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

— Где же Окся? — грозно накинулся на них Мыльников. — Эй, Окся, не слышишь без оч-

ков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

— Мы ее на свету спустили в дудку, — объяснял сконфуженный Яша. — Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать...

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на той же ноге» полетел на Рублиху, — некуда Оксе деваться, окромя Родиона Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию.

— Была твоя Окся, да вся вышла...

— Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда...

— Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, что на Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя.

— Оксю потерял, Родион Потапыч... Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

— Выгоните этого дурака, — коротко приказал грозный старик. — Здесь не кабак, чтобы шум подымать...

— Меня?.. Да я...

Чадолюбивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье... Окси и там не было; потом — в Балчуговский завод, — Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльникова. Через неделю дудку его залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и наконец всю одежу с себя. Наступало лето, и одежда была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ер-

мошка сказал:

— А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла...

— Н-но-о? — изумился Мыльников.

— Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета... Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

— Ах, курва... Да я ее растерзаю на мелкие части!

— Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого... Другую такую-то дуру наживай.

Глава 29

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольная пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина — и только. Кварц встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она от-

ведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов до пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

— Скоро ли? — спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

— Еще восемнадцать аршин осталось... К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга пойдут.

Музгой рабочие называют всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще

прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более, что такой белой глины рабочие очень не любили — лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречался только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настроением: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачунский спасен... Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми му-

ками добываются такие крупицы... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает... Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся.

— Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

— Не могу знать, Степан Романыч... У господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки... А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве... У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

— Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается... А мужик полакомится — и бежать.

— Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак... Не к тебе речь

говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, — правильные были господа, настоящие: зверь так зверь, во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить... Про нынешних и говорить нечего: он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье что барин.

— А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

— Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю — вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены бы тебе не было... Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху — отлично... Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко ды-

шится в такую весеннюю ночь... Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади поднимались на Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

— Эй ты, подальше, полуночник! — крик-

нул кучер.

Кожин ничего не ответил, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

— Не бойся, не трону, — ответил Кожин, выпрямляясь в седле. — Степан Романыч, а я с Фотьянки… Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

— У вас условие было какое-нибудь? — спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

— Какие там условия…

— Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноту. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

— Не с добром человек едет…

— А что?

— Да уж так… Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается… Ночным делом разве можно подъезжать этак-ту: кто его знает, что у него на уме.

— Пустяки…

Ночью особенно было хорошо на шахте.

Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

— Разве так работают... — говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. — Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть — вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас...

— Куда ему деваться; Степан Романыч... В горе оно спряталось.

— Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие работы.

— Это ты правильно... Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж...

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся

и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

— Мы как нищие... — думал вслух Карачунский. — Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих... Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды... Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной, а тогда бы мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

— Ну, это уж невозможно! — сказал Родион Потапыч. — Им, подлецам, сколько угодно дай — все равно потащат к Ястребову.

— Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы...

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку — старателю — с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы — другое дело... Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

— Что случилось?

— Вода, Степан Романыч... — прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушиванье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду... Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной

трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

— Ну, это не велика беда, — говорил он с улыбкой. — А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело...

Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

— Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не

проверяя фактически, — тянул следователь, записывая что-то, — чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой — вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.

— Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном доме и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, — это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники... Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем...

— И затем?

— И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

— Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления!

— Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог... Я хотел

только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

— Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересная была произведенная следова-

телем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным...

— Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос... — заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

— Я уже сказал вам, что это невозможно, — сухо ответил следователь, продолжая писать.

— А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятности, и сейчас сам не помню, о чем писал... Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

— Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу... Одним словом, это к делу не относится...

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

— А я не виноват, Степан Романыч... Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

— Что вам от меня нужно?.. — спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. — Я вас совсем не знаю и не желаю знать...

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят...»

Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно,

знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного: чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

Глава 30

На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за на-

стоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

— Живи и слушайся баушки, — наказывала строго Марья. — И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь... У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

— Смаялась я с девками, — ворчала баушка Лукерья. — На одном году четвертую беру... А все промысла. Грех один с этими девками...

Марья с мужем поступила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот чело-

век. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хвороста плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной, в среднем около полутора золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, — была трубка с длин-

ным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

— Все кричат: богатство! — жаловался Кишкин. — А только вот я не вижу его до сих пор... Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрышка, тут бутара, тут плотина... За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

— А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег...

— Проценты плачу... Ох, разоренье, Марьюшка!..

— Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости...

— Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богачества уйдешь... Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором... Их много, а я-то ведь один. Не разо-

рваться...

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

— Старайся, старайся, старичок божий... — весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. — Любая половина моих рук не минует... Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укор...

— Знаю я вас, разбойников! — брюзжал Кишкин. — Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич...

— Не пугай, ради Христа... ха-ха!.. А что сделаешь?

— А вот это самое... Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь...

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

— Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, — пошутил секретарь милостиво. —

Разбогател, так и меня знать не хочешь.

— Он ныне гордый стал, — поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. — Голой рукой и не возьмешь...

— А еще однокашники, — продолжал Илья Федотыч. — Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает... Вот тебе и дружба. Хе-хе... А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

— Да, вот какие дела, Андрон... — говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. — Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

— Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться... — жалостливо уверял Кишкин. — Никак не могу сбиться с деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю...

— Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю и ягод, а на ужин состряпала та-

кие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

— Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, — уговаривала она старика своим уверенным тоном. — Пригодится еще Илья Федотыч... Все за ним ходят, как за кладом.

— Ох, знаю, Марьюшка... Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить... Ты расхарчилась-то с какой радости?

— Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут...

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.

— А куда же Карачунский? — удивился Кишкин.

— Ну, это его дело... Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи... Ах, Андрошка, бить-то тебя было некому!..

— От бедности очертел тогда, — согласился Кишкин. — Терпел-терпел и надумал...

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

— Пожалеют балчуговские-то о Карачунском, — повторял секретарь. — И еще как пожалеют... В узле держал, а только с толком. Умный был человек... Надо правду говорить. Оников-то покажет себя...

— Народ изварначился ныне, Илья Федотыч...

— Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, — сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

— Разжалобился ты что-то уж очень, Илья Федотыч... У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.

— Ох, помирать скоро, Андрошка... О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали: и греха было больше и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на

деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка... Хороши, пока голодны, а как насосались — и конец.

— Тебе в попы идти, Илья Федотыч, — рассердился Кишкин. — В самый раз с постной молитвой ездить...

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:

— Игрушка?..

— Хороша Маша, да не наша... С мужем живет.

— Что же, это еще лучше, коли с мужем... хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет...

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

— Грабить меня пришли?! — орал Кишкин. — Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

— Мы насчет работы, Андрон Евстратыч, — заявил другой мужик. — Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку — вот и весь разговор.

Это были Петр Васильич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.

— Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, — советовал кто-то. — Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

— Ну и обыщи, коли на то пошло! — согласился Петр Васильич, распоясываясь. — Весь тут... Хоть вывороти.

— А мне надо сестрицу Марью повидать, — заявил Мыльников не без достоинства. — Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

— Скупщики... — коротко объяснил Киш-

кин недоумевавшему гостю. — Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей... От Ястребова ходит.

— Ну, у хлеба не без крох, — равнодушно заметил секретарь. — А я думал, что тебя уж режут...

— И зарежут...

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

— Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила...

— Мало ли что зря люди болтают, — успокаивала Марья. — За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.

— Прямо убьет, — соглашался Мыльников. — Зятя бог послал... Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемычная.

— Пировал бы меньше, Тарас... Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал за-

тылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

— Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие... — приговаривала она.

— Ах, Марьюшка, родная сестрица! — ахнул Мыльников. — Вот когда ты уважила...

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, — он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.

— Очертел Шишка-то... — заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. — Как зверь накинулся даве на нас...

— Его не обманешь: насквозь видит каждого.

— Видит, говоришь? — засмеялся Петр Васильич. — Кабы видел, так не бросился бы... Разве я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка...

— Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

— Обыкновенно... И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится... Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

— А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Себя соблюдаешь, — решил Петр Васильич. — А Шишка, вот погляди, сбрендит... Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

— Так поглядывает, а чтобы приставал — этого нет, — откровенно объяснила Марья. —

Да и какая ему корысть в мужней жене!.. Хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидел у нас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда...

— Про Наташку, говоришь? Польстился, значит...

— Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит... С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает...

— Так, как... Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал... Так, своим умом дошел... Ах, пес! Ловко обошел мамыньку... Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денег-то у старого черта?

— А кто его знает... Мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал; к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована... Железный сундук под кроватью, так в ем у него деньги-то...

— В сундуке? Так, Марьюшка... А тяжелый сундук-то?

— Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен... Я как-то мела в конторе и хо-

тела передвинуть, а сундук точно пришит...

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

— Петр Васильич...

— А что?..

— Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой...

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку — рука была холодная, как лед.

— Ключик добудь, Марьюшка... — шептал Петр Васильич. — Вызнай, высмотри, куда он его прячет... С собой носит? Ну, это еще лучше... Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо... Мне в городу сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?

— Ах, страшно... уйди...

— Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество... Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

— Не хочешь, так Наташку приспособим... Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.

— Неможется что-то, — коротко объяснила она.

Глава 31

— Когда же ты помрешь, Дарья? — серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. — Этак я с тобой всех невест пропущу... У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?

— А Наташка? — виновато отвечала Дарья. — Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневе-

стится...

— Опять омманешь, лахудра!.. — ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. — Ведь в чем душа держится, а все скрипишь... Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.

— Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.

— Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, — жаловалась она. — Ты бы в самую кость норовил... Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть... Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.

— Дурак он, Кожин-то: еще наотвечаешься потом...

Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор босую, гонялся

за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, — тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

— Твоя работа: гляди и казнись! — кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. — Убью подлюгу... Видеть ее не могу.

В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа — не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она са-

ма хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

— Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча...

— Могу соответствовать, Фенюшка... Ах, какой грех, подумаешь!

— Ты ему так и скажи, что я его прошу... А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает...

— Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу... Негоже это дело. А я в лучшем виде все оборудую... Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

— Да ты поскорее, Тарас... Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену...

Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег.

— Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча... Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же от-

правился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

— Да это я! — кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. — Не узнали, что ли?.. Баушка Маремьяна... а?..

Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

— Чего лезешь-то? — неприветливо спросил он.

— А дело есть, от того самого и лезу...

— Врешь!

— Вот сейчас провалиться...

— Ну, иди...

Кожин сам отворил и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз... Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался кру-

тым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.

— Ах, какое приятное место! — восхищался Мыльников. — Только водку пить на таком месте...

— Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

— Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно... Да потом я тебе скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы... да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем... Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу... Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

— Собака у меня, надо полагать, сбесилась... Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, — она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль — сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать... Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин — сам и ответит, а пока жена в живности — никого это не касаемо,

потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

— Да разве это можно живого человека так увечить?! — орал он на весь кабак, размахивая руками. — Кержаки — так кержаки и есть... А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал

отпетый кабатчик Ермошка.

— Нет, братцы, так нельзя! — выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. — Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене... За это, брат, по головке не погладят.

— Своими глазами видел... — бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. — Я думал: мертвяк, и даже отшатнулся, а это она, значит, жена Кожина распята... Так на руках и висит.

— Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело, — заявил Ермошка тоном сведущего человека. — Учить жену учи, а это уж другое...

— Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! — кричали голоса. — Православные так не сделают никогда... Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

— Нет, погодите, братцы, я сам оборудую... — решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не

делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

— Застанем либо нет ее в живых! — повторял он в ажитации. — Христианская душа, ваша высокоблагородие... Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что... Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находи-

лась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

— Будет тебе два неполных!.. — заметил ему Ермошка. — Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда ветрел его ночью на дороге, — все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

— Оставь, мамынька... — сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. — Родимая, прости!

— Голубчик... кормилец... — завыла старуха в исступлении.

— Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую... — советовал Ермош-

ка. — Самая вредная женщина есть... От нее все...

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

— Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч... А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя...

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой.

— На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? — приставал он к Ермошке.

— А это видно будет... На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то — вот за это за самое не похвалят.

— И венчанных-то тоже не полагается увечить... — усомнился Мыльников.

— Про венчанную так и говорится: мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина... Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невоз-

можно.

— Уж это известное дело...

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

— Управился я с Акинфием Назарычем, — хвастался он. — Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение... Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

— Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, — рассказывал Мыльников. — Тоже знает порядок... Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом... не от ума...

Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар гро-

ма. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой — лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

— Я его больше не люблю... — прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

— Девочка, милая...

— А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть...

— Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он

старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

— С чего ты это сунулся в чужое дело? — приставал Ястребов. — Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

— Стих такой накатился, Никита Яковлич... Обидно стало, что живого человека тиранят.

— Да ты-то разе прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

— Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? — рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. — Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, — не пикнет.

Глава 32

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки, по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодайкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходил старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две,

а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место, вроде Богоданки. Можно было купить готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

— Только бы поманило малость, — повторял Матюшка с деловым видом. — Обыщем золото...

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохлаждаться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправится. Мыльников так и не заплатил им.

— Простому рабочему везде плохо: что у канпании нашей работать, что у золотопромышленников... — жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с гла-

зу на глаз. — На что Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий по обыкновению молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, — жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком... Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положенье. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

— Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, — шутили часто рабочие над своей молодайкой. — Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому,

чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, — какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

— Корову бы нам, Оксюха, — мечтал Яша. — Корму в лесу сколько угодно... Ловко бы?.. Водили бы ее за собой на прииск, как цыгане...

— И лучше бы не надо... лучше бы не на-

до... — соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. — С молоком бы были, а то всухомятку надоело...

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое — и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь — самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

— Одного нам теперь недостает, Оксюха, — шутили мужики, — разродись ты нам мальчонкой или девчонкой... Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило... Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем, — продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился

нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

— Давно не видались, а как будто и не соскучились, — проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

— Ах, Матюшка, разве мы чужие?.. — ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком. — А я-то вас разыскивал по всем промыслам...

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

— Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются, — заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу. — А ежели разобрать, так ты поумнее других протчих народов себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дедушки, у Родиона

Потапыча, жилку прятала?.. У родителя стянешь да к дедушке?.. Никто и не подумает... Верно!.. Уж так-то ловко... Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил...

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожиным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

— Ай да Окся, молодца!.. — хвалили ее рабочие, поднимая на смех смутившегося Петра Васильича. — Носи, не потеряй да другим не сказывай... Хорошенько его, Оксенька, оборотня!

— Ты чего, в самом-то деле, к бабе привязался, сера горючая? — накинулся Матюшка на гостя. — Иди своей дорогой, пока кости целы...

— Да вы, черти, белены объелись? — изумился Петр Васильич. — Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы... На кого ощерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно храпай... Будет богатого из себя показывать.

Побогаче тебя найдутся... А что касаемо Окси, так к слову сказано. Право, черти... Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

— Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел...

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели походили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

— Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите... Ей-богу!.. А дело-то под носом... Мне все одно, а я так, жалеючи, говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю...

— Да ведь она пустая, Сиротка-то? — возражал Матюшка.

— Была пустая, когда Кишкин работал... А чем она хуже Богоданки?.. Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось...

— Да ты-то о чем хлопочешь, кривой черт?..

— Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

— Ты вот куда метнул... Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем... А за такие дела еще в Сибирь сошлют.

— А Ганька на что? Он грамотный и все разнесет по книгам... Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался... А Кишкин задарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?.. Лучше всего в аренду взять. Платить ему двухгривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: на-

скрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке...

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

— Я тебе скажу пряменько, Матвей, что мы и Кедровскую дачу не тронем, ни одной порошины золота не возьмем... Будет с нас Балчуговского. Он, Оников-то, как поступил, и сейчас старателям плату сбавил... А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне... Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должен я все это золото травить Ястребову ни за грош... Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно

другим тоном.

— Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей... Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

— Давно бы так... Только никому, смотри, ни гу-гу!..

— А я тебе скажу одно: ежели чуть что замечу — башку оторву.

— Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена... И своя артель чтобы ничего не знала. Слово сказал — умер...

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

— Охота Оксины деньги закопать? — пошутил он. — Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали... Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: чтобы этот кривой черт и носу близко не показывал... понимаешь?..

— Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, — клялся Матюшка, встряхивая головой. — Я ему ноги повыдергаю...

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз — всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе — новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

— Все уйдут... — рассказывал Ераков. — Пусть чужестранных рабочих наймут. При Карачунском куда было лучше... С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Та-

кого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, — сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него все золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

— Дурак ты, Петр Васильич, — вразумил

его кабатчик. — Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать... Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу, может, и смилуется...

Раздумал Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым начистоту.

— Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай, — торговал вперед Петр Васильич.

— Ладно, разговаривай... По четыре с полтиной дам, — решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

— Ну, а теперь прощай, — заговорил Ястребов. — Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак...

— А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов

был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книге золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

— Пожалеете меня, подлецы! — заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. — Благодетеля своего продали...

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

Часть V

Глава 33

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

— У меня — не у Степана Романыча... Да...

Да... Служащим было убавлено жалованье, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались по-прежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике были увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вы-

рвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел где нужно и не видеть и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово и наконец произнесен был приговор, выражавшийся одним словом:

— Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый — осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй — и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости реформы

нового главного управляющего были похоронены под этим словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, — это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это слу-

чится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

— Ну что, как дела? — спросил он, не глядя на старика.

— Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, — спокойно ответил старик.

У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланной мягкостью:

— Мне нужно серьезно поговорить... Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы... Во всяком случае я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать — все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбочкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить — торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами про-

читал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе опустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй... Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

— Ну, что же вы молчите? — спросил наконец Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

— Что же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное... Что прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает...

— Есть хорошие знаки?..

— Будут и знаки...

Одним словом, дело не склеилось, хотя

непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит! Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то... От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми остались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой — его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

— «Нет, брат, я тебя достигну!.. — сердито

думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. — Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, если бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь...

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла вся одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленую рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли како-

го-нибудь разговора с Карачунским.

— Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романыч приехал... — рассказывал кочегар. — Ну, Кишкин сидел уж дивно[9] времени... Сидит, лясы точит, а что к чему — не разберешь. Известный омморок! Ну, как увидел Степан Романыча, и даже как будто из лица выступил... А потом ушел куды-то, да и бежит: «Ох, беда... Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, омморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз «наведывался» на Рублиху, чтобы посмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался... Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из

главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет...» — подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах, и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о

случившемся.

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж... Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по письменному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

— Табак дело... — решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. — Записку-то ты покажи в полиции, а

деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

— Пенцию табе оставил Степан-то Романыч, дуре, а ты уряднику...

— Отстань, сера горючая...

— Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы... Первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога...

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой: целый день ревела о записке.

— Мне дороже записка-то этих денег, — плакалась Феня. — Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха... Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого навождения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что. Без меры лютовал чистоплюй, особенно над старателями.

— Умякнет, — отвечал старый штейгер. — Не больно велик в перьях-то.

— Утихомирится?.. Дай бы бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателев вконец... Так и рвет, так и мечет.

— Утишится!

— Упыхается... Главная причина, что здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за что похвалить, а суди на волка — суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, делян-

ками притесняют, ну, открылась Кедровская дача — кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходят...

— Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся... На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь... Конечно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать целковых — он и не знает, что с ними делать. Все равно, голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает... Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин — он на Генералке прииск заявил — в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очувствовался... А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

Глава 34

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильич тоже поседел от заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

— Мамынька, а где у тебя деньги... а?.. Скажи, а то, неровен час, помрешь, мы и не найдем опосле тебя...

— Тьфу! Тоже и скажет, — ворчала старуха. — Прежде смерти не умрем... И какие такие мои деньги?..

— А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

— Ничего я не знаю...

— Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово... Как он меня срамил-то во-

сетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи...» Ведь это что же такое? Ястребов вон сидит в остроге так и меня в пристяжки к нему запречь можно эк-ту.

— А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? — язвила баушка Лукерья. — Ловко он тебя тогда обезживотил.

— Мамынька, не поминай... Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче...

— Дураком ты себя оказал, и больше ничего... Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

— Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась... Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю. А денег он тебе не отдаст...

— Не твоя печаль... Ты сходи к Ястребову в острог, да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

— Ах, мамынька...

— Два года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал... А еще мужик

называешься! Не тебе, видно, мои-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сделали ему внушение.

— Ты смотри, кривой черт... Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителев почитать должон... Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную... Он здесь только опомнился, что опять свалял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, — за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал

золото со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и обжигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил... Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дуром, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать... Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средствием. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

— Ты в жилетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к жилетке-то...

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

— Старички, есть ли на вас крест? — взмо-

лился он. — Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

— А, так ты вот какие слова разговариваешь... Снимай-ка жилетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на обчественный счет приставим. Будешь родителев уважать...

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли... Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал, как мертвый.

— Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, — посоветовали старички.

— Куды я теперь пойду? — застонал Петр Васильич.

— А уж это твое дело, милаш...

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить...

— Выжгу... зарежу... — бормотал он, сжимая кулаки. — Будете меня помнить, ироды...

— А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться, — до того тошно ни душе. Теперь глаз показать никуда нельзя... Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели

около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

— Давно бы тебе догадаться, баушка, — повторял Кишкин. — Шелковый будет... хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали...

— А ты-то чему обрадовался? — напустилась на него старуха. — От чужого безвременья тебе лучше не будет...

— А не скупай чужого золота! Вперед наука... Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

— И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку... Ох, и не рада я, что заварила кашу. Постращать думала, а оно вон что случилось... Жаль мне.

— Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся... Зуб на него грызли, ну, а он подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Киш-

кин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

— Отдай, Андрон Евстратыч... Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу...

— Тебя жалеючи не отдаю, глупая... У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да... А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

— Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

— А где у тебя расписка?

— На совесть даваны...

— Ха-ха... Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит... Разве такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

— Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы...

— Да ведь я так... У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

— Ко мне же придешь, поклонишься своими деньгами, да я-то не возьму... — бахвалился Кишкин. — Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

— Это твой процент, получай...

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги, — ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой.

— Бери, баушка, не поминай меня лихом... Найди другого такого-то дурака.

— Да ведь я так, Андрон Евстратыч... по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал... Не отдаст, грит, тебе Кишкин денег!

— Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз...

— Старая я стала... глупа...

— Ну, ладно, будет нам с тобой делиться.

Посылай-ка помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску... Где Наташка?

— А куды ей деваться?.. Эй, Наташка... А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней: девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос... Не пригожее дело.

— А у меня характер веселый, баушка... Люблю с молоденькими пошутить.

— Шути с Марьей, коли такая охота напала...

— У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

— В годы еще не вошел жениться-то, — пошутила старуха. — А Наташку оставь: стыдливая она, не то, что Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених... Форсить начал.

— Недавно на триста рублей всякого платья заказал, — хвастался Кишкин. — Не все оборвышем ходить... Вот часы золотые купил, потом перстень...

— Ох, мотыга, мотыга...

С Кишкиным действительно случилась

большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем, во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

— Сватать Наташку приехал, — шутил он. — Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянке, выравнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумянилась — совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

— Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? — повторял Кишкин. — Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я поживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу... С деньгами-то потом любого да лучшего жени-

ха выбирай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает. Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

— Ты ей приданое сделай, — советовала старуха. — Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь — поминать будет.

— Эх, баушка, баушка... Помереть все по-

мрем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю... Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

— Ишь чего захотел, старый пес... Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе...

— Шутки шучу...

Странные дела творились в дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

— Объедаете меня... — корила баушка каждым куском. — Не напасешься на вас!.. Жил

бы Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

— Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятишками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

— А ты поразговаривай... Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах...

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал.

— Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь, — говорила Наташка. — Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем...

— Я старателем буду, как тятька... — говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца.

Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

— Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина, — жаловалась Наташка. — Больно нехорошо глядит он... Уставится, инда совестно сделается.

— Наплюй на него, Наташка... Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото... Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли... Вся Тайбола ума решилась, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Что греха у них, и не расхлебать... До драки дело доходило.

— Это все Тарас... — говорила серьезно Наташка. — Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, чтобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятька, от Тараса, потому совсем он пропащий человек... Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребя-

тишками, а сам шатуном шатается.

— И то брошу, — соглашался уныло Яша. — Только чуточку бы поправиться...

Глава 35

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он ни передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» — везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал:

«Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное...»

— Да ты что лежишь-то? — спросил наконец Матюшка. — Аль неможется?..

— Весь немогу... — глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а оксины деньги таяли в кармане, как снег...

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, а так же думал и Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду яс-

но можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Богоданке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета... Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами — там богатое золото объявилось, а в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

— И чего ты привязался к Мутяшке, — наговаривал Ганька. — Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже... На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки... Ледянка тоже в славу входит...

— Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все протчие места наплевать... Тем и живут, что друг у дружки

золото воруют.

Между прочим Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото — и с Богоданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злоключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат, — потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

— Нету денег-то, Петр Васильич... — начал Матюшка издали.

— Ненастье перед вёдром бывает.

— Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке...

— За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были... Да ты что пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь... Кабы у тебя ум... что я тебе наказывал-то, оболтусу? Сам знаешь, что мне на Богоданку дорога заказана...

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

— Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич... Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье — тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

— Вся сила в Марье...

— Дура она, вот что надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило... Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого... Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

— Да уж речистая баба: точно стреляет сло-

вами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи... Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.

— Было и это... — сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. — Моя-то Оксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семенычу... Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

— Ну, теперь твоя вся Марья, — решил Петр Васильич. — Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости что хошь сделает.

— И то сделает... Подсылала уж ко мне, — тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. — А только мне она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, чтобы вызнать, где ключи прячет Шишка... Каждый день, слышь, на новом

месте. Потом Марья же сказывала мне, что он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

— Так, дурит... Комариное-то сало, разыгралось.

— Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку...

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

— Окся ужо до тебя доберется, Петр Васильич... Она и то обещает рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя». То-то дура... Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится... Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумьи свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

— Чего ждать-то?.. Все одно пропадать... а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет...

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело ото-

двинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», — без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя...

— Эй, кто жив человек в землянке? — послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

— Здесь... — шептал Ганька, показывая головой на землянку. — Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

— Кого там черт принес? — отозвался Ма-

тюшка с деланной грубостью.

— Так богоданных родителев принимают? — обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. — В гости пришел, зятек...

— Милости просим... Проходите почаще мимо-то, тестюшка...

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

— Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? — предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. — Я самый и есть... Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый... Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

— Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел...

— Мне бы Оксю повидать... — бормотал виновато Мыльников. — Больно я по ней соскучился... Сказывают, брюхатая она.

— Не твое дело... Проваливай. А ты, Гань-

ка, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

— Матюшка, не тронь, в сам деле, Тараса... Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству...

— Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! — заговорил Мыльников, набираясь храбрости. — Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся...

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.

— Что же, я и уйду, — решил вдруг Мыльников. — Нахлебался у зятя щей через забор шляпой... эх роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интерес-

ном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила:

— Помру скоро, тятя...

— Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи...

— Нет, помру... Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей...

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

— Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение

паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих — все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар — все с иголочки, все как только что облупленное яичко.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.

— Наше вам, Марья Родивоновна... Легко ли прыгаете?..

— Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

— Какая такая причина случилась?

— По одном подлом человеке сохну... Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

— Тоже навяжется лихо...

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цигарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, — Семеныч перед ним цыпленок.

— Ну так как же, Марья Родивоновна?

— Да все то же, Матюшка... Давно не видались, а пришел — и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать... Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней за-

ботишься?..

— Экий у тебя язык, Марья...

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

— Черт, отстань...

— Выходи ужо в лес... Выйдешь?..

— Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить... Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки... Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес — и пропала... Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

— Ты это что? — спросил он участливо.

— Да так... голова болит... скучно.

Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачка... Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил — на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и встать утром на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Поди, думает леший, что я его испугалась, — подумала она и улыбнулась. — Ах, ду-

рак, дурак... Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется... Не на таковскую напал. Испугал... ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

Глава 36

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась, как вкопанная; перед ней стоял Родион Потапыч.

— Да ты давно онемела, что ли? — сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама

баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», — мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

— Случай вышел к тебе... — заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. — Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабьим делом, но ничего не могла понять.

— Где взял-то? — спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

— Не украл, а свои собственные...

В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

— Где это тебя угораздило-то?

— В шахте... Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Что такое, думаю, случилось?.. Выждал с минуту и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай до самого патро-

на, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет... Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл...

— Ах, батюшки... да как это тебя угораздило-то?

— Вот и пришел... Нет ли у тебя какого средствия кровь унять да против опуха: щеку дует. К фершалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете... Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

— Нет, этого нельзя, а кровь уймем... Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, «сердце схватило», «весь немогу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в

шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой:

— Это он нарочно, Степан Романыч.

— Как нарочно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу...

— Нарочно, Степан Романыч, ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить... Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч прини-

мал все с какой-то детской покорностью, точно удивился самому себе, что дошел до такого ничтожества.

— А вот это к ночи прими, — наставительно повторяла старуха, — кровь разбивает... Хорошее пособие от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начинает.

Родион Потапыч улыбнулся.

— И то меня за сумасшедшего принимают, — заговорил он, покачав головой. — Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал... Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит... Тошно смотреть-то.

— Все жалятся на него... — заметила баушка Лукерья. — Затеснил совсем старателей-то... Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят...

— И старателей зря теснит и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

— А у меня уж скоро Рублиха-то подастся... да. Легкое место сказать, два года около нее

бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, что при Оникове все дело оправдается, так даже жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука... Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

— Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч...

— С нами крестная сила!..

— Верно тебе говорю... Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольню и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

— А-ах, ба-атюшки... Да я бы на месте померла.

— Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах... Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти, — я прополз и слушаю. И он за мной ползет... Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и

я струхнул. Главная причина, что без покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бродит теперь...

— Почему же около шахты ему бродить?

— А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

— Ну, так что дальше-то было? — спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства. — Слушать-то страсти...

— Дальше-то вот и было... Повернулся я, а он из штрека-то и вылезает на меня.

— Батюшки!.. Угодники... Ой, смертынька!

— А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня... бледный такой... глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

— Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

— Ты слушай дальше-то: он от меня, а я за ним... Страшновато, а я уж пошел на отчаянность: что будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел в забой. Теперь понимаешь?

— Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя...

— А я понял: он мне показал, где жила спряталась.

— А ведь и то... Ах, глупая я какая!..

— Ну, я тут на другой день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то...

— А что ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

В этот момент под окнами загремел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

— Погляди-ка, как наш Кишкин отличается... Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу

совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

— Передохнуть завернул, баушка, — весело говорил он, не снимая картуза. — Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднился малым делом... Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богоданки.

— Здравствуй, Андрон Евстратыч... Разбогател, так и узнавать не хочешь, — заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

— Ах, Родион Потапыч! — обрадовался Кишкин. — А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались... Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь же у следователя. Еще ты меня страмил...

— Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало...

— Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разе бы довел себя до этого, а теперь уже поздно... Голодный-то и архирей украдет.

— Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч...

— От бедноты это приключилось, — объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить

неприятный разговор. — Все мы так-то: в чужом рту кусок велик...

— Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, — наступал старый штейгер. — Истинно через тебя... Метил ты в других, а попал в него.

— Так уж случилось... — смущенно повторял Кишкин. — Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напринялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало...

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

— Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет... А между прочим, твое дело — тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда, — пожалуй, подумают, что он бежит.

— Ты бы переночевал? — предлагала баушка Лукерья. — Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

— А мне пора, в сам деле!.. — поднялся

Кишкин. — Только-только успею засветло-то... Баушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь околачивается... Шабаш, брат: и узду забыл и весы — все ремесло.

— Ох, и не говори, — застонала баушка Лукерья. — Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет.

— Ничего, обмякнет, дай время, — успокаивал Кишкин. — До свежих веников не забудет...

— А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича, — вступился Родион Потапыч. — Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях... В сам-то деле, мужику теперь ни взад ни вперед ходу нет. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились... Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой, — она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

— Ты это что, птаха, по заугольям пря-

чешься? — спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

— Дедушки боюсь... — откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем.

— Ну, страшен сон, да милостив бог... Поедем ко мне в гости!..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

— Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. — кричала она задыхавшимся голосом. — Возьми ужо деньги-то от меня...

— Ага... а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо...

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

— Вот дармоеды навязались!.. — ворчала раздосадованная старуха. — Богадельня у меня, что ли?..

Родион Потапыч против обыкновения за-

сиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

— И впрямь, надо полагать, с ума схожу, — печально проговорил старик, разглаживая бороду. — Никак даже не пойму, что к чему... Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец...

— Ох, и не говори!..

— Что мужики, что бабы — все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет... От жадности и с сыном вздорила, а теперь оба плакать будете. И все так-то... Раздумаешься этак-то, и сделается тошно... Ушел бы, куда глаза глядят, только бы не видать и не слыхать про ваши-то художества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый старый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром

дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. С ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заалелся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак... Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

— Да ведь это баушка Лукерья горит! —

вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявшийся с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

— Сам поджег свой-то дом!.. — галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. — Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

— Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

— Да она, надо полагать, того... — объяснил неизвестный мужик. — В самое пальмо

попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

Глава 37

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

— Тетя, родная, что только и было, — рассказывала она, припадая к Марье. — И рассказывать-то — так одна страсть...

— Дедушка-то зачем был?

— А так навернулся... До сумерек сидел и все с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел... Я его в сенки потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце — отдушинка у нас махонькая в стене проделана, — в оконце-то и вижу, как через огород человек крадется. И вижу, несет он в руках бурак берестяной и прямо к задней

избе, да из бурака на стенку и плещет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич... ей-богу, тетя, он!..

— Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось... Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время... Ну, потом-то что было?

— А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она, как на меня зыкнет... Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб... Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе... Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного... А баушки нет... Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком это... Там ее и нашли, около сундука... Обгорела вся... ничего не узнать...

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней.

— Народ-то все Петра Васильича искал, — продолжала Наташка, — все хотели его в огонь бросить.

— А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все из-за тебя... Ежели будут спрашивать, так и говори, что никого не видала, а наболтала со страху.

— Да я видела...

— Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука... Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали

Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

— Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его работа... Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

— Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой что поделает... Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху...

— Приказала баушка Лукерья долго жить, — заметил он, здороваясь с Марьей. — Главная причина — без покаяния старушка

окончание приняла. Весьма жаль... А промежду протчим, очень древняя старушка была, пора костям и на покой, кабы только по всей форме это самое дело вышло.

— Все под богом ходим, Ермолай Семеныч... Кому уж где господь кончину пошлет.

— Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем... Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло...

— Мало ли что зря болтают! Просто опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела... Много ли старому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

— Конечно, зря, а я только к слову. До свиданья, Марья Родивоновна... Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

— Милости просим...

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

— А моя-то Дарья пласт-пластом лежит... Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому...

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

— Вы не думайте, чтобы через мои руки она помирала... Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь ни боже мой...

— Жениться будете?

— Как сорочины минуют, подумываю... Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

— Сватайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить...

— А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоновна, статья подходящая... ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью... Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоновна в город переехала... Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая...

Марье пришлось прожить на Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дождаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и всю голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела.

Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

— Я твоего Петруньку тоже устрою, — говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. — Много ли парнишке надо. Покойница-баушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь...

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и Феня.

— Старичок ежели пошутит, так не велика беда, — наговаривала Марья. — Это не то, что молодые парни зубы скалят...

Таким образом, Марья торжествовала. Она

обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинулся на Марью же и долго ворчал, что у него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

— Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша, — усовещивал он жену. — От места еще мне откажет...

— Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего

не получит, да и Татьяна тоже, — разе удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже не очень тверда разумом-то... А главная причина поездки заключалась в желании видеться с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

— Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой, — говорил Семеныч, провожая жену, — бродяги в лесу шляются...

— Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, — огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался... Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

— Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куда прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука, — наказывала она перед отъездом. — Да возьми припрячь

его при случае...

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

— Надоел он мне, как горькая редька... Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее маслеными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

— Играешь, Марьюшка, — посмеялся Кишкин. — Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужем и женой бог судья. Ты мне только тово...

— А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется... Ну что, довольны те-

перь?..

— Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное... В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька, — видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с размозженным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой... У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге, — она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на

Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело... С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

— Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли

убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

Глава 38

Дела у компании шли тихо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло, — нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрыше верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже

Ульянова кряжа, так что, по всем признакам, россыпь образовалась из разрушившихся жил, залегавших именно в этом кряже так, что золото зараз можно было взять и из россыпи и из коренного месторождения.

— Мы возьмем золото с хвоста и с головы, — повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

— Что же, ваши бы слова да богу в уши, — уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы собственно в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделать.

— Как же это так, — удивлялся член, — кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

— Точно так, вашескородие, — отвечал староста. — Кругом золото, а в середке бедность... Все от компании зависит: ежели б объявили старательские работы, оно все же передышка... Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно

запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

— Я поступаю только по закону, — говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. — Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем...

— Да... гм... Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

— О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют... Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что собственно рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, — только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой приски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недо-

вольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

— У меня разговор короткий: чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну, — хвастался Оников. — Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

— Кто там, крещеный?

— Можно зайти, дедушка, обогреться?..

— Дня-то тебе не стало? — удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. — Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки

показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

— Ты что это полуночничаешь? — сердито спросил его старик. — Мало ли тут шляющихся по лесу-то...

— Я с делом, дедушка... — рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. — Окся приказала долго жить...

— Кончилась?.. — участливо спросил старик, сразу изменившись. — Ах, сердяга... Омманула она меня тогда, ну, да бог ее простит.

— Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла... На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждила... И тебя вспомнила. «Помру, грит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда».

— Вспомнила?

— И еще как, дедушка... А перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел... Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Что ты, — говорю, — Окся: даст бог, поправишься...» — «Я,

грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль...» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала...

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

— Да ты чего это ночью-то хочешь идти? — проговорил старик. — Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

— Тошно мне, дедушка... — шептал он задыхавшимся голосом. — Ах, как тошно...

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

— Эк ты напугал меня, — рассердился Ро-

дион Потапыч. — Ну чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этакий молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл.

— Что же это такое? — изумлялся старик, глядя на Матюшку. — Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась... На твои счастки, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото... Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно... Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников приска-

кал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы, да столько же получится дивиденда.

— Надо деньги-то считать, когда они в карман положены, — строго заметил Родион Потапыч.

— Ничего, сосчитаем и не в кармане...

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают... Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал любоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

— Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

— Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч...

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

— Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает... Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело...

— Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

— А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, чтобы ключ добыла, а она через Наташку... Я ее на дороге встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех... Как за-

кричит... Все у меня в голове перемешалось... ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует... Потом Наташка очнулась; ну, мы всех прикончили разом, чтобы никакого следа. Деньги захватили — и в лес. Ночью около огонька принялись делить... Вижу, Петр Васильич обманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят... Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы... На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью говорила все... «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того самого время: легче вот руки наложить на себя... места не найду...

Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

— Повремени малость... — сказал старик, не глядя на Матюшку. — Я тебя представлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч

спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

В ту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не

получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благодействовать стотысячное население и десяток таких компаний...

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.

ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

(Роман)

Роман натуралистично рассказывает о становлении буржуазии в России XIX века и создаёт ряд ярких образов сибирских характеров. Сюжет основан на реальных фактах из жизни промышленного Урала XIX века.

Часть I

Глава 1

— Приехал… барыня, приехал! — задыхавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. — Вчера ночью приехал… Остановился в «Золотом якоре».

Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, откры-

вавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене: прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом.

— Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филипьевне... — торопливо гово-

рила Заплатина своей горничной. — Да постой... Скажи ей только одно еловое «приехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее...

Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний, — она, по одному мановению руки, с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная горничная, с порядочно измятым глупым лицом и большими темными подглазницами под бойкими карими глазами; ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений.

— Ах, господи... что же это такое?.. Да Виктор Николаич... Ах господи!.. — причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол.

— Чего тебе?..

— Да ведь ты слышал: при-е-хал...

— Что же из этого?

— Болван! Да ведь Привалов — миллионер, пойми ты это... Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет... где мой корсет?

— Отстань, пожалуйста…

— Дурак!.. Ах, господи… Ведь говорила я Агриппине Филипьевне, уже сколько раз говорила: «Mon ange,[10] уж поверьте, что недаром приехал этот ваш братец…» Да-с!.. Вот и вышло по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Бахаревы, Ляховские, Половодовы… Я очень рада, что Привалов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. Уж очень зазнались… даром, что рыльце-то у них в пушку. Вот ужо, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то… Ха-ха… Виктор Николаич, дерево ты этакое, слышишь: Привалов приехал!

— Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, приехал», — передразнивал он жену. — Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные… Дайка мне миллион, да я…

— Отчего же он не остановился у Бахаревых? — соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. — Видно, себе на уме… Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну… Вот и партия Nadine. Точно с неба жених свалился! Эта-

кое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег на голову, зять миллионер... Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две... Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..

— Бабы — так бабы и есть, — резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. — У них свое на уме! «Жених» — так и было... Приехал человек из Петербурга, — да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого осетра женить... Тьфу!..

— Ничего ты не понимаешь, — с напускным равнодушием проговорила Заплатина, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. — Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковлевичем к арфисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как Лепешкин, Ломтев... Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться... Все

вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет... Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцовщицу.

Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда Панафидины за жениха Капочке? — подумала Заплатина, но сейчас же решила: — Не стоит... Еще, пожалуй, Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение.

— А ты вот что, Хина, — проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. — Ты не очень тово... понимаешь? Пожалей херес-то... А то у, тебя нос совсем клюквой...

— У меня... нос клюквой?!

Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные

актрисы, величественно проговорила:

— Если без меня приедет сюда Агриппина Филипьевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же... Понял?

— Как не понять: вам с Агриппиной Филипьевной теперь работа, в чужом пиру похмелье...

Семья Заплатиных в уездном городке Узле, заброшенном в глубь Уральских гор, представляла оригинальное и вполне современное явление. Она являлась логическим результатом сцепления целой системы причин и следствий, созданных живой действительностью. Эта семья, как истинное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, достоинств и недостатков. Виктор Николаич был сын сторожа, отставного солдата Кое-как, с грехом пополам, выучился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в уездный суд, где годам к тридцати добился пятнадцати рублей жалованья По тому времени этих денег было совершенно достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство имело в жиз-

ни Заплатина решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнительная репутация, но это совершенно выкупалось тремя тысячами приданого. Заплатин был рассудительный человек и сразу сообразил, что дело не в репутации, а в том, что сто восемьдесят рублей его жалованья сами по себе ничего не обещают в будущем, а плюс три тысячи представляют нечто очень существенное. Этот брак состоялся, и его плодами постепенно явились двадцать пять рублей жалованья вместо прежних пятнадцати, далее свой домик, стоивший по меньшей мере тысяч пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капитальчик, лежавший в ссудной кассе. Одним словом, настоящее положение Заплатиных было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. А между тем Виктор Николаич продолжал получать свои триста рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а то-

пографом при узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Николаича и, когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили: «Помилуйте, да ведь у Хионии Алексеевны пансион; она знает отлично французский язык...» Другие говорили просто: «Да, Хиония Алексеевна очень умная женщина». И далекая провинция начинает проникаться сознанием, что умные люди могут получать триста рублей, а проживать три тысячи. Это вполне современное явление никому не резало глаз, а подводилось под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, что они существуют.

Домик Заплатиных был устроен следующим образом. Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу, другая — в три совершенно отдельных комнаты и третья — в темный коридор, служивший границей собственно между половиной, где жили Заплатины, и пансионом. Центром всего дома, конечно, была гостиная, отделанная с трактирной роскошью; небольшой столовой

она соединялась непосредственно с половиной Заплатиных, а дверью — с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояли порядочный рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками грязных пальцев Матрешки. В домике Заплатиных кипела вечная ярмарка: одни приезжали, другие уезжали. Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда за последними новостями, делились слухами и уезжали, нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым ворохом сплетен. Idee fixe [11] Хионии Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон, где бы молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образцах, люди с весом могли себя показать, женщины — блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие артисты и артистки — найти покровительство, местные таланты — хороший совет и поощрение и все молодые девушки — женихов, а все молодые люди — невест. Чтобы выполнить во

всех деталях этот грандиозный план, у Заплатиных не хватало средств, а главное, что было самым больным местом в душе Хионии Алексеевны, — ее салон обходили первые узловские богачи — Бахаревы, Ляховские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего: кто знает, может быть, и на ее улице будет праздник — времена переменчивы. Так ткет паук паутину где-нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей участи, ждет своих жертв...

— Эта Хиония Алексеевна ни больше ни меньше, как трехэтажный паразит, — говорил частный поверенный Nicolas Веревкин. — Это, видите ли, вот какая штука: есть такой водяной жук! — черт его знает, как он называется по-латыни, позабыл!.. В этом жуке живет паразит-червяк, а в паразите какая-то глиста... Понимаете? Червяк жрет жука, а глиста жрет червяка... Так и наша Хиония Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет под руку!

Что касается семейной жизни, то на нее полагалось время от двух часов ночи, когда

Хиония Алексеевна возвращалась под свою смаковницу из клуба или гостей, до десяти часов утра, когда она вставала с постели. Остальное время всецело поглощалось приемами гостей и разъездами по знакомым. Виктор Николаич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому занятию — политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и отпивать небольшими глотками душистый мокка — ничего лучшего Виктор Николаич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики: Биконсфильд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант — тут было над чем подумать. Относительно своих гостей Виктор Николаич держался таким образом: выходил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого-нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться последними известиями с театра европейской политики.

— Мне нужно посоветоваться с мужем, — обыкновенно говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось чего-нибудь серьезно-

го. — Он не любит, чтобы я делала что-нибудь без его позволения...

Это, конечно, были только условные фразы, которые имели целью придать вес Виктору Николаичу, не больше того. Советов никаких не происходило, кроме легкой супружеской перебранки с похмелья или к ненастной погоде. Виктор Николаич и не желал вмешиваться в дела своей жены.

Что касается пансиона Хионии Алексеевны, то его существование составляло какую-то тайну: появлялись пансионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и воспитанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесследно, уступая место другим дальним родственницам, сиротам и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хионии Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему учили в этом пансионе и кто учил — едва ли ответила бы на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел сношение с внешним миром только при посредстве Матрешки.

Чтобы довершить характеристику той жизни, какая шла в домике Заплатиных, нуж-

но сказать, что французский язык был его душой, альфой и омегой. Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и провожали гостей, ими высказывали то, что было совестно выговорить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям непосвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни Хионии Алексеевны французский язык был неисчерпаемым источником всевозможных комбинаций, а главное — благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще передовой женщины.

Глава 2

Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами. Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома (как это ни странно, но у каждого дома есть своя физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за этими низкими стенами, выкрашенными в дикий серый цвет, совершалось такое мирное течение человеческого существования! Небольшие светлые окна, заставленные цветами и низенькими

шелковыми ширмочками, смотрели на улицу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью заглядывали в окна бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дрязг и треволнений.

Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными фестонами. Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой В глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акаций и сире-

ней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками Параллельно с зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, кучерская и баня.

Внутри бахаревский дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду. Ближайший к воротам подъезд вел на половину хозяина, Василья Назарыча, дальний — на половину его жены, Марьи Степановны Когда вы входили в переднюю, вас уже охватывала та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых уютных комнат с блестящими полами и свеженькими обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, и небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены; мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату. Была и разница между половинами Василья Назарыча и Марьи Степановны, но об этом мы поговорим после, потому что теперь к второму подъезду с дребезгом подкатился экипаж Хионии Алексеевны, и она сама весело кивала своей головой ка-

кой-то девушке, которая только что вышла на террасу.

— Ах, mon ange! — воскликнула Хионня Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. — Je suis charmee![12] Вы, Nadine, сегодня прелестны, как роза!.. Как идет к вам это полотняное платье... Вы походите на Маргариту в «Фаусте», когда она выходит в сад. Помните эту сцену?

Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, можно было назвать красивой, но на Маргариту она уже совсем не походила. Сравнение Хионии Алексеевны вызвало на ее полном лице спокойную улыбку, но темно-серые глаза, опушенные густыми черными ресницами, смотрели из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она откинула рукой пряди светло-русых гладко зачесанных волос, которые выбились у нее из-под летней соломенной шляпы, и спокойно проговорила:

— Вы находите, что я очень похожа на Маргариту?

— О! совершенная Маргарита!..

— Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то другим?

— Ах да, это совсем другое дело: если вы наденете русский сарафан, тогда... Марья Степановна дома? Я приехала по одному очень и очень важному делу, которое, mon ange, немного касается и вас...

— Опять, вероятно, жениха подыскали?

— Что же в этом дурного, mon ange? У всякой Маргариты должен быть свой Фауст. Это уж закон природы... Только я никого не подыскивала, а жених сам явился. Как с неба упал...

— И не ушибся?

Хиония Алексеевна замахала руками, как ветряная мельница, и скрылась в ближайших дверях Она, с уверенностью своего человека в доме, миновала несколько комнат и пошла по темному узкому коридору, которым соединялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мягкие ладони закрыли глаза Хионии Алексеевны, и девичий звонкий голос спросил: «Угадайте кто?»

— Ах! коза, коза... — разжимая теплые полные руки, шептала Хиония Алексеевна. — Кто

же, кроме тебя, будет у вас шутить? Сейчас видела Nadine… Ей, кажется, и улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме… Ну, здравствуй, Верочка, ma petite, chevre!..[13] Ах, молодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пересмехи.

— Да о чем же горевать, Хиония Алексеевна? — спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и «всех лизала», как отзывалась об ее поцелуях Надежда Васильевна.

— Ах, ma petite,[14] все еще будет: и слезки, может, будут, и сердечко защемит…

— Ну и пусть щемит: я буду тогда плакать. Мама в моленной… Вы ведь к ней?

— О да, мне ее непременно нужно видеть, — серьезно проговорила Хиония Алексеевна, поправляя смятые ленты. — Очень и очень нужно, — многозначительно прибавила она.

— Я сейчас, — проговорила Верочка, бойко повернулась на одной ножке и быстро исчезла.

«Вот этой жениха не нужно будет искать: сама найдет, — с улыбкой думала Хиония

Алексеевна, провожая глазами убегавшую Верочку. — Небось не закиснет в девках, как эти принцессы, которые умеют только важничать... Еще считают себя образованными девушками, а когда пришла пора выходить замуж, — так я же им и ищи жениха. Ох, уж эти мне принцессы!»

Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Китайские чашечки, японские вазы, севрский и саксонский сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченом иконостасе, темнели образа старинного письма; изможденные, высохшие лица угодников, с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими морщинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изумрудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным светом теплилась перед ними. Небольшие окна были задрапированы чистенькими белыми занавесками; между горшками цветов на лакированных подокон-

никах стояли ведерные бутыли с наливками из княженики и рябины. Хиония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ковру и опустилась на низенький диванчик, перед которым стоял стол красного дерева с львиными лапами вместо ножек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнатке: пахло росным ладаном, деревянным маслом, какими-то душистыми травами и еще бог знает чем-то очень приятным, заставлявшим голову непривычного человека тихо и сладко кружиться. Темно-синие обои с букетами цветов и золотыми разводами делали в комнате приятный для глаза полумрак. Писанная масляными красками старинная картина в тяжелой золотой раме висела над самым диваном. Молодой человек и девушка в костюмах Первой французской революции сидели под развесистым деревом и нежно смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика была пробита в стене небольшая дверь, замаскированная коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи Степановны.

— Добрые вести не лежат на месте! — весело проговорила высокая, полная женщина,

показываясь в дверях спальни; за ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком.

— Ах! Марья Степановна... — встрепенулась Хиония Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. В скобках заметим, что эти банты служили не столько для красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр. — А я действительно с добрыми вестями к вам.

Марья Степановна была в том неопределенном возрасте, когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих пятидесяти пяти лет она сохранилась поразительно, и, глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми темными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок позади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами и облегала полную белую шею небольшой розеткой. Золотой позумент в два ряда был наложен на переднее полотнище сарафана от самого верху до подола; между позументами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. Русые густые волосы

на голове были тщательно подобраны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан; передний край сороки был украшен широкой жемчужной повязкой. В этом костюме Марья Степановна была типом старинной русской красавицы. Медленно переступая на высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла к своей гостье и поцеловалась с ней.

— Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, — проговорила она, усаживаясь на диван. — Там есть в банке варенье... Да скажи по пути Досифеюшке, чтобы нам подали самоварчик.

Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать Хиония Алексеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рассказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей «очень и очень нужно видеть Марью Степановну». «Этакая мамаша!» — думала девушка, надувая и без того пухлые губки.

— Зачем вы ее выслали? — говорила Хиония Алексеевна, когда Верочка вышла.

— Молода еще; все будет знать — скоро состарится.

— Ах, Марья Степановна, какую я вам новость привезла! — торжественно заговорила Хиония Алексеевна, поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. — Вчера приехал При-ва-лов... Сергей Александрыч Привалов... Разве вы не слыхали?.. Да, приехал.

У Марьи Степановны от этого известия опустились руки, и она растерянно прошептала:

— Как же это... Где же он остановился?

— В «Золотом якоре», в номерах для приезжающих. Занял рублевый номер, — рапортовала Хиония Алексеевна. — С ним приехал человек... три чемодана... Как приехал, так и лег спать.

— Зачем же это Привалов в трактире остановился?

— Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Марья Степановна, — поправила Хиония Алексеевна.

— Ах, матушка, по мне все равно... Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не проехал или к нам? Ведь не выгнала бы...

— Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Разве человек образованный будет

беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери — невесты... Знаете, все-таки неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным. Я как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и перекрестилась: вот, думаю, господь какого жениха Nadine послал... Ей-богу! А сама плачу... Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам...

— Да, может быть, Привалов без нас с вами женился?

— Ах, Марья Степановна!.. Уж я не стала бы напрасно вас тревожить. Нарочно пять раз посылала Матрешку, а она через буфетчика от приваловского человека всю подноготную разузнала. Только устрой, господи, на пользу!.. Уж если это не жених, так весь свет пройти надо: и молодой, и красивый, и богатый. Мил-лио-нер... Да ведь вам лучше это знать!

— Ну, миллионы-то еще надо ему самому наживать, — степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы оборочкой...

— Ах, помилуйте, что вы?!.. Да ведь после матери досталось ему пятьсот тысяч...

— Убавьте триста-то, Хиония Алексеевна.

— Ну, что же? Ну, пусть будет двести тысяч. И это деньги.

— Да ведь он их, наверно, давно прожил там, в своем Петербурге-то.

— И нисколько не прожил... Nicolas Веревкин вместе с ним учился в университете и прямо говорит: «Привалов — самый скромный молодой человек...» Потом после отца Привалову достанется три миллиона... Да?

— Это, Хиония Алексеевна, еще старуха надвое сказала... Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу.

— Ах, господи, господи!.. — взмолилась Хиония Алексеевна. — И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона. Да-с, три, три, три!..

Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова

заставила ее даже вздрогнуть... Неужели это тот самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще укусила его за ухо, когда они играли в жгуты... Сердце Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голове молнией мелькнула мысль: «Жених... жених для Нади!»

— Что с тобой, Верочка? — спрашивала Марья Степановна, когда дочь вошла в комнату раскрасневшаяся как пион.

— Я... я, мама, очень скоро бежала по лестнице, — отвечала Верочка, еще более краснея.

— Ах, молодость, молодость! — шептала сладким голосом Хиония Алексеевна, закатывая глаза. — Да... Вот что значит молодость: и невинна, и пуглива, и смешна Кому не было шестнадцати лет!..

Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыбкой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками была Действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключением небольшого хохолка, ко-

торый постоянно вставал у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб небольшим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. Только светло-палевое платье немного портило девушку, придавая ей вид кисейной барышни, но яркие цвета были страстью Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, сиреневом или голубом. «А... радуга», — говорил Виктор Васильич, брат Верочки, когда она одевалась по своему вкусу. Теперь ей только что минуло шестнадцать лет, и она все еще не могла привыкнуть к своему длинному платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще не сформировалась, и она по-прежнему осталась «булкой», как в шутку иногда называл ее отец.

Эта немая сцена была прервана появлением Досифеи, которая внесла в комнату небольшой томпаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, как сама Марья Степановна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклинный кубовый сарафан облегал

ее могучие формы; на голове была девичья повязка, какие носят старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Марья Степановна сделала ей несколько знаков рукой; Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки.

— Что это с тобой? — удивилась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал.

— Ммм… ааа… — мычала Досифея, делая знаки руками и головой.

— Вот еще где наказание-то, — вслух подумала Надежда Васильевна, — да эта Хина кого угодно сведет с ума!

Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея недоверчиво покачала головой и объяснила знаками, что это ей сказала «сама», то есть Марья Степановна.

Глава 3

— Это Привалов! — вскрикнула Хиония Алексеевна, когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе.

— Как же это так... скоро... вдруг, — говорила растерявшаяся Марья Степановна. — Верочка, беги скорее к отцу... скажи... Ах, чего это я горожу!

— Позовите сюда Nadine, Верочка! — скомандовала Хиония Алексеевна.

— Да, да, позови ее, — согласилась Марья Степановна. — Как же это?.. У нас и к обеду ничего нет сегодня. Ах, господи! Вы сказали, что ночью приехал, я и думала, что он завтра к нам приедет... У Нади и платья нового, кажется, нет. Портнихе заказано, да и лежит там...

Надежда Васильевна попалась Верочке в темном коридорчике; она шла в свою комнату с разогнутой книгой в руках.

— Иди, ради бога, иди, скорее иди!.. — шептала Верочка, поднимаясь на носки.

— Да что с тобой, Верочка?

— Ах, иди, иди...

Надежда Васильевна видела, что от Вероч-

ки ничего не добьется, и пошла по коридору. Верочка несколько мгновений смотрела ей вслед, потом быстро ее догнала, поправила по пути платье и, обхватив сестру руками сзади, прильнула безмолвно губами к ее шее.

— Сегодня, кажется, все с ума сошли, — проговорила недовольным голосом Надежда Васильевна, освобождаясь из объятий сестры. — И к чему эти телячьи нежности; давеча Досифея чуть не задушила меня, теперь ты...

— Надя... — шептала задыхающимся голосом Верочка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово было выскочить: так оно билось. — Приехал... Привалов!..

Надежда Васильевна прошла в комнату матери, а Верочка на цыпочках пробралась к самой передней и в замочную скважину успела рассмотреть Привалова. Он теперь стоял посреди комнаты и разговаривал с старым Лукой.

— Что, не узнал меня? — спрашивал Привалов седого низенького старичка с моргающими глазками.

— Нет... невдомек будет, — говорил Лука, медленно шевеля старческими, высохшими

губами.

— А Сережу Привалова помнишь?

— Батюшка ты наш, Сергей Александрыч!.. — дрогнувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гостя верхнее пальто и по пути целуя его в рукав сюртука. — Выжил я из ума на старости лет... Ах ты, господи!.. Угодники, бессребреники...

— Василий Назарыч здоров? — спрашивал Привалов.

— Да, да... То есть... Ах, чего я мелю!.. Пожалуйте, батюшка, позвольте, только я доложу им. В гостиной чуточку обождите... Вот где радость-то!..

— Ну, а ты, Лука, как поживаешь? — спрашивал Привалов, пока они проходили до гостиной.

— Что мне делается; живу, как старый кот на печке. Только вот ноги проклятые не слушают. Другой раз точно на чужих ногах идешь... Ей-богу! Опять, тоже вот идешь по ровному месту, а левая нога начнет задирать и начнет задирать. Вроде как подымаешься по лестнице.

С старческой болтливостью в течение

двух-трех минут Лука успел рассказать почти все: и то, что у барина тоже одна ножка шаркает, и что у них с Костенькой контры, и что его, Луку, кровно обидели — наняли «камардина Игреньку», который только спит.

— Вот он, — проговорил Лука, показывая глазами на молодого красивого лакея с английским пробором. — Ишь, челку-то расчесал! Только уж я сам доложу о вас, Сергей Александрыч... Да какой вы из себя-то молодец... а! Я живой ногой... Ах ты, владычица небесная!..

И, задирая левой ногой, Лука направился к дубовой запертой двери. Верочка осталась совершенно довольна своими наблюдениями: Привалов в ее глазах оказался вполне достойным занять роль того мифического существа, каким в ее воображении являлся жених Нади. Ведь Надя необыкновенная девушка — красивая, умная, следовательно, и жених Нади должен быть необыкновенным существом. Во-первых, Привалов — миллионер (Верочка была очень практическая особа и хорошо знала цену этому магическому слову); во-вторых, о нем столько говорили, и вдруг он является из

скрывавшей его неизвестности... Его высокий рост, голос, даже большая русая борода с красноватым оттенком, — все было хорошо в глазах Верочки. Между тем Привалов совсем не был красив. Лицо у него было неправильное, с выдающимися скулами, с небольшими карими глазами и широким ртом. Правда, глаза эти смотрели таким добрым взглядом, но ведь этого еще мало, чтобы быть красивым.

— Вот изволь с ней поговорить! — горячилась Марья Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру. — Не хочет переменить даже платье...

— Ну что, какой он: красавец? брюнет? блондин? Главное — глаза, какие у него глаза? — сыпала вопросами Хиония Алексеевна, точно прорвался мешок с сухим горохом.

— Высокий... носит длинную бороду... с Лукой разговаривал.

— Ах, Верочка, глаза... какие у него глаза?

— Кажется, черные... нет, серые... черные...

— Что он с Лукой говорил? — спросила Марья Степановна.

Верочка начала выгружать весь запас собранных ею наблюдений, постоянно путаясь,

повторяла одно и то же несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей делать и куда деваться.

Неожиданное появление Привалова подняло переполох в бахаревском доме сверху донизу. Марья Степановна в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии Алексеевны переменяла уже третий сарафан; Верочка тут же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих платьев отдать предпочтение, пока не остановилась на розовом бареже́вом. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ломались, пуговицы отрывались, завязки лопались; кажется, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно было бежать к Досифее, которая производила в кухне настоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме своих кастрюль и горшков. Старый Лука — и тот, схватив мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери.

— Устрой, милостивый господи, все на пользу... — вслух думал старый верный слуга, поплевывая на суконку. — Уж, кажется, так бы хорошо, так бы хорошо... Вот думать, так

не придумать!.. А из себя-то какой молодец... в прероду свою вышел. Отец-то вон какое дерево был: как, бывало, размахнется да ударит, так замертво и вынесут.

— Уж вы, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не оставляйте нас, — не зная зачем, просила Марья Степановна.

— Помилуйте, Марья Степановна: я нарочно ехала предупредить вас, — не без чувства собственного достоинства отвечала Хиония Алексеевна, напрасно стараясь своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки. — Ах, Верочка... Ведь это ужасно: у женщины прежде всего талия... Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, а потом на лицо.

— Что же мне делать, Хиония Алексеевна? — со слезами в голосе спрашивала бедная девочка.

— Теперь уж ничего не поделаешь... А вот вы, козочка, кушайте поменьше — и талия будет. Мы в пансионе уксус пили да известку ели, чтобы интереснее казаться...

Только один человек во всем доме не принимал никакого участия в этом переполохе.

Это был младший сын Бахарева, Виктор Васильич. Он лежал в одной из самых дальних комнат, выходившей окнами в сад. Вернувшись домой только в шесть часов утра, «еле можаху», он, не раздеваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и теперь лежал в расстегнутой куцей визитке табачного цвета, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми часами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но оригинально; нос с вздутыми тонкими ноздрями и смело очерченные чувственные губы придавали этому лицу капризный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколько раз пробовал разбудить молодого человека, но совершенно безуспешно: Виктор Васильич отбивался от него руками и ногами.

— Велели беспременно разбудить, — говорил Игорь, становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться в критическом случае. — У них гости... Приехал господин Привалов.

— Какой там Привалов... Не хочу знать ни-

какого Привалова! Я сам Привалов... к черту!.. — кричал Бахарев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря. — Ты, видно, вчера пьян был... без задних ног, раккалия!.. Привалова жена в окно выбросила... Привалов давно умер, а он: «Привалов приехал...» Болван!

— Это уж как вам угодно будет, — обиженным голосом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях.

— Мне угодно, чтобы ты провалился ко всем семи чертям!

— Может, прикажете сельтерской воды или нашатырного спирту... весь хмель как рукой снимет.

— А! так ты вот как со мной разговариваешь...

— Мне что... мне все равно, — с гонором говорил Игорь, отступая в дверях. — Для вас же хлопочу... Вы и то мне два раза Каблуком в скулу угадали. Вот и знак-с...

— Ну, и убирайся к чертовой матери с своим знаком, пока я из тебя лучины не нащепал!

Игорь скрылся. Бахарев попробовал раскрыть глаза, но сейчас же закрыл их: голова

чертовски трещала от вчерашней попойки.

«И пьют же эти иркутские купцы... Здорово пьют! — рассуждал он. — А Иван-то Яковлич... ах, старый хрен!»

Глава 4

Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик сидел в старинном глубоком кресле у своего письменного стола и хотел подняться навстречу гостю, на сейчас же бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволнованным голосом:

— Да откуда это ты... вы... Вот уж, поистине сказать, как снег на голову. Ну, здравствуй!..

Наклонив к себе голову Привалова, старик несколько раз крепко поцеловал его и, не выпуская его головы из своих рук, говорил:

— Какой ты молодец стал... а! В отца пошел, в отца... Когда к нам в Узел-то приехал?

— Сегодня ночью, Василий Назарыч.

— Да, да, ночью, — бормотал старик, точно стараясь что-то припомнить. — Да, сегодня ночью...

— Как здоровье Марьи Степановны?

— Моей старухи? Ничего, молится... Нет, право, какой ты из себя-то молодец... а!

— Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий Назарыч... — заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика.

— Как ты сказал: поблагодарить?

— Да, потому что я так много обязан вам, Василий Назарыч.

— Э, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами счеты... Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам, Пора, давно пора. Ну, как там дела-то твои?

— Все в том же положении, Василий Назарыч.

— Гм... я думал, лучше. Ну, да об этом еще успеем натолковаться! А право, ты сильно изменился... Вот покойник Александр-то Ильич, отец-то твой, не дожил... Да. А ты его не вини. Ты еще молод, да и не твое это дело.

— Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч.

— Нет, ты не вини. Не бери греха на душу...

Коренастая, широкоплечая фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова с остатками седых кудрей и седой всклокоченной бородой была красива оригинальной старческой красотой.

Небольшие проницательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети да слишком серьезные и энергичные старики.

Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу и тремя на двор. Стены были оклеены скромными коричневыми обоями, окна задрапированы штофными синими занавесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу лежал широкий персидский ковер. У стены, напротив стола, стоял низкий турецкий диван, в углу железный несгораемый шкаф, в другом — этажерка. На письменном столе правильными рядами были разложены конторские книги и счеты с белыми облатками. У яшмового письменного прибора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком: «Главная приисковая контора В. Н. Бахарева». Они вместо пресса были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась

большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури; в ней была вставлена отцветшая, порыжевшая фотография Марьи Степановны с четырьмя детьми. На стене, над самым диваном, висела в богатой резной раме из черного дерева большая картина, писанная масляными красками. На ней был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного в глубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная машина, для неопытного глаза представлявшая какую-то городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На заднем плане картины, на небольшом пригорочке, — большая приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским лесом, замыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в летописях сибирской золотопромышленности Варваринский прииск, открытый Василием Бахаревым и Александром Приваловым в глубине Саянских гор, на какой-то безыменной

горной речке. Варваринским он был назван в честь Варвары Павловны, матери Сергея Привалова.

Привалова поразило больше всего то, что в этом кабинете решительно ничего не изменилось за пятнадцать лет его отсутствия, точно он только вчера вышел из него. Все было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось все: и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший дымом дорогой сигары.

Именно такою представлял себе Привалов ту обстановку, в которой задумывались стариком Бахаревым его самые смелые предприятия и вершились дела на сотни тысяч рублей.

— Что же мы сидим тут? — спохватился Бахарев. — Пойдем к старухе... Она рада будет видеть этакого молодца. Пойдем, дружок!

Старик было поднялся со своего кресла, но опять опустился в него с подавленным стоном. Больная нога давала себя чувствовать.

— Позвольте, я помогу вам, — предложил Привалов.

— Нет, ты не сумеешь этого сделать, — с печальной улыбкой проговорил старик и позвонил. — Вот Лука — тот на эти дела мастер. Да... Отошло, видно, золотое времечко, Сергей Александрыч, — грустно заговорил Бахарев. — Сегодня ножка болит, завтра ручка, а потом придет время, что и болеть будет нечему... А время-то, время-то теперь какое... а? Ведь каждый час дорог, а я вот пачкаюсь здесь с докторами. Спать даже не могу. Как подумаю, что делается без меня на приисках, так вот сердце кровью и обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел... Да. А заменить некем! Один сын умнее отца хочет быть, другой... да вот сам увидишь! Дочерей ведь не пошлешь на прииски.

При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и, шаркая одной ногой, пошел к дверям.

— Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости, — говорил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого слуги. — Видел, какой молодец?..

— Уж на что лучше, Василий Назарыч! Я даже не узнал их... Можно сказать, совсем

преобразились. Бывало, когда еще в емназии с Костенькой учились...

— Опять? — строго остановил Бахарев заболтавшегося старика. — Позабыл уговор?

— Не буду, не буду, Василий Назарыч!.. Так, на радостях, с языка слово сорвалось...

— Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? — спрашивал Бахарев, останавливаясь в дверях. — Болтаю, болтаю, а о главном-то и не спрошу...

— Я думаю совсем здесь остаться, Василий Назарыч.

— Слава тебе, господи, — с умилением проговорил Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.

Глава 5

Привалов шел за Васильем Назарычем через целый ряд небольших комнат, убранных согласно указаниям моды последних дней. Дорогая мягкая мебель, ковры, бронза, шелковые драпировки на окнах и дверях — все дышало роскошью, которая невольно бросалась в глаза после скромной обстановки кабинета. В небольшой голубой гостиной стояла новенькая рояль Беккера; это было новин-

кой для Привалова, и он с любопытством взглянул на кучку нот, лежавших на пюпитре.

— Мы ведь нынче со старухой на две половины живем, — с улыбкой проговорил Бахарев, останавливаясь в дверях столовой передохнуть. — Как же, по-современному... Она ко мне на половину ни ногой. Вот в столовой сходимся, если что нужно.

Сейчас за столовой началась половина Марьи Степановны, и Привалов сразу почувствовал себя как дома. Все было ему здесь знакомо до мельчайшей подробности и точно освящено детскими воспоминаниями. Полинявшие дорогие ковры на полу, резная старинная мебель красного дерева, бронзовые люстры и канделябры, малахитовые вазы и мраморные столики по углам, старинные столовые часы из матового серебра, плохие картины в дорогих рамах, цветы на окнах и лампадки перед образами старинного письма — все это уносило его во времена детства, когда он был своим человеком в этих уютных низеньких комнатах. Даже самый воздух остался здесь все тем же — теплым и душистым, насквозь пропи-

танным ароматом домовитой старины.

— Вот и моя Марья Степановна, — проговорил Василий Назарыч, когда они вошли в небольшую темно-красную гостиную.

Привалов увидел высокую фигуру Марьи Степановны, которая была в бледно-голубом старинном сарафане и показалась ему прежней красавицей. Когда он хотел поцеловать у нее руку, она обняла его и, по старинному обычаю, степенно приложилась к его щекам своими полными щеками и даже поцеловала его неподвижными сухими губами.

— Нет, ты посмотри, Маша, какой молодец... а? — повторял Василий Назарыч, усаживаясь при помощи Луки в ближайшее кресло.

— В матушку пошел, в Варвару Павловну, — проговорила Марья Степановна, оглядывая Привалова с ног до головы.

— Вот и нет, — возразил старик. — Я как давеча взглянул на него, — вылитый покойный Александр Ильич, как две капли воды.

— Нет, в мать... вылитая мать!

Старики поспорили и остались каждый при своем мнении.

— А ты, поди, совсем обасурманился на чу-

жой-то стороне? — спрашивала Марья Степановна гостя. — И лба не умеешь перекрестить по-истовому-то?.. Щепотью молишься?..

— Нет, зачем же забывать старое, — уклончиво ответил Привалов.

— Никого уж и в живых, почитай, нет, — печально проговорила Марья Степановна, подпирая щеку рукой. — Старая девка Размахнина кое-как держится, да еще Колпакова... Может, помнишь их?..

— Да, помню.

— Добрые люди мрут и нам дорожку трут, — прибавил от себя Бахарев. — Давно ли, ровно, Сергей Александрыч, ты гимназистом-то был, а теперь...

Наступила тяжелая пауза; все испытывали то неловкое чувство, которое охватывает людей, давно не видавших друг друга. Этим моментом отлично воспользовалась Хиония Алексеевна, которая занимала наблюдательный пост в полутемном коридорчике. Она почти насильно вытолкнула Надежду Васильевну в гостиную, перекрестив ее вдогонку.

— Моя старшая дочь, Надежда, — проговорил Василий Назарыч с невольной гордостью

счастливого отца.

Привалов поздоровался с девушкой и несколько мгновений смотрел на нее удивленными глазами, точно стараясь что-то припомнить. В этом спокойном девичьем лице с большими темно-серыми глазами для него было столько знакомого и вместе с тем столько нового.

— Наде было пять лет, когда вы с Костей уехали в Петербург, — заметила Марья Степановна, давая дочери место около себя.

— Обедать подано, — докладывал Игорь, вытягиваясь в дверях.

— Мы ведь по старинке живем, в двенадцать часов обедаем, — объяснила Марья Степановна, поднимаясь с своего места. — А по-нонешнему господа в восемь часов вечера садятся за стол.

— Да, кто встает в двенадцать часов дня, — заметил Привалов.

— Ну, а ты как?

— Как случится, Марья Степановна. Вот буду жить в Узле, тогда постараюсь обедать в двенадцать.

— Так-то лучше будет, — весело заговори-

ла Марья Степановна; ответ Привалова ей очень понравился. — Ты старины-то не забывай, — наставительно продолжала она по дороге в столовую. — Кто у тебя отцы-то были... а? Ведь столпы были по древлему благочестию. Новшеств этих и знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку твоего взять, Павла Михайлыча Гуляева? Он часто говаривал, что лучше в одной рубашке останется, а с бритоусами да табашниками из одной чашки есть не будет. Вон какой дом-то выстроил тебе: пятьдесят лет простоял и еще двести простоит. Этаких людей больше и на свете не осталось. Так, мелочь разная.

Привалов плохо слушал Марью Степановну. Ему хотелось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла теперь рядом с Васильем Назарычем. Девушка поразила Привалова, поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других.

— Мой младший сын, моя младшая дочь, — коротко отрекомендовал Василий Назарыч Верочку и Виктора Васильича, которые ожидали всех в столовой.

— Это наша хорошая знакомая, Хиония

Алексеевна, — рекомендовала Марья Степановна Заплатину, которая ответила на поклон Привалова с приличной важностью.

— Очень приятно, — как во сне повторял Привалов, пожимая руку Виктора Васильича.

— Мне тоже очень приятно, — отвечал Виктор Васильич, расставляя широко ноги и бесцеремонно оглядывая Привалова с ног до головы; он только что успел проснуться, глаза были красны, сюртук сидел криво.

Верочка в своем розовом платье горела, как маков цвет. Ей казалось, что все смотрят именно на нее; эта мысль сильно смущала ее и заставляла краснеть еще больше... «Жених...» — думала она, опуская глаза в сладком волнении. Привалов с любопытством посмотрел на смущенную Верочку и почувствовал себя необыкновенно хорошо, точно он вернулся домой из какого-то далекого путешествия. Именно теперь он отчетливо припомнил двух маленьких девочек, которые нарушали торжественную тишину бахаревского дома вечным шумом, возней и детским смехом. Которую-то из них называли «булкой»... Взглянув на Верочку, Привалов едва успел по-

давить невольную улыбку: несмотря на свои шестнадцать лет, она все еще оставалась «булкой». Это мимолетное детское воспоминание унесло Привалова в то далекое, счастливое время, когда он еще не отделял себя от бахаревской семьи. Вот в этой самой столовой происходили те особенные обеды, которые походили на таинство. Маленький Привалов сильно побаивался Марьи Степановны, которая держала себя всегда строго, а за обедом являлась совсем неприступной: никто не смел слова сказать лишнего, и только когда бывал дома Василий Назарыч, эта слишком натянутая обеденная обстановка заметно смягчалась.

— Ты уж не обессудь нас на нашем угощенье, — заговорила Марья Степановна, наливая гостю щей; нужно заметить, что своими щами Марья Степановна гордилась и была глубоко уверена, что таких щей никто не умеет варить, кроме Досифеи.

Старинная фаянсовая посуда с синими птицами и синими деревьями оставалась та же, как и раньше; те же ложки и вилки из массивного серебра с вензелями на ручках.

Щи Досифеи, конечно, оставались теми же и так же аппетитно пахли специальным букетом. Привалов испытывал глубокое наслаждение, точно в каждой старой вещи встречал старого друга. Разговор за обедом происходил так же степенно и истово, как всегда, а Марья Степановна в конце стола казалась королевой. Даже Хиония Алексеевна — и та почувствовала некоторый священный трепет при мысли, что имела счастье обедать с миллионером; она, правда, делала несколько попыток самостоятельно вступить в разговор с Приваловым, но, не встречая поддержки со стороны Марьи Степановны, красноречиво умолкала. Зато эта почтенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, причем несколько раз самым многознаменательным образом указывала глазами Марье Степановне то на Привалова, то на Надежду Васильевну, тяжело вздыхала и скромно опускала глаза.

— Нынешние люди как-то совсем наособицу пошли, — рассуждала Марья Степановна. — Не приноровишься к ним.

— Ах, совсем дрянной народ, совсем дрян-

ной! — подпевала Хиония Алексеевна, как вторая скрипка в оркестре.

— Это, мама, только так кажется, — заметила Надежда Васильевна. — И прежде было много дурных людей, и нынче есть хорошие люди...

— Конечно, так, — подтвердил Виктор Васильич. — Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше время так были люди... Все старики так говорят.

— Да вам с Давидом Ляховским и головы не сносить до старости-то, — проговорил Василий Назарыч.

— Молодость, молодость, — шептала Хиония Алексеевна, закатывая глаза. — Кто не был молод, кому не было шестнадцати лет... Не так ли, Марья Степановна?

Глядя на испитое, сморщенное лицо Хионии Алексеевны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестнадцать лет.

— Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, Сергей Александрыч? — спрашивала Заплатина с жестом настоящей grande

dame...[15]

— Право, я еще не успел подумать об этом, — отвечал Привалов. — Да вообще едва ли и придется бывать в клубе...

— Да, да... Я понимаю, что вы заняты, у вас дела. Но ведь молодым людям отдых необходим. Не правда ли? — спрашивала Хиония Алексеевна, обращаясь к Марье Степановне. — Только я не советую вам записываться в Благородное собрание: скучища смертная и сплетни, а у нас, в Общественном клубе, вы встретите целый букет красавиц. В нем недостает только Nadine... Ваши таланты, Nadine...

— Давно ли, Хиония Алексеевна, вы сделали такое открытие? — спрашивала с улыбкой Надежда Васильевна.

— О, я это всегда говорила... всегда!.. Конечно, я хорошо понимаю, что вы из скромности не хотите принимать участия в любительских спектаклях.

Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широком белом лбу всплывала над левой бровью такая же морщинка, как у Василья Назарыча. Привалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым пле-

чом, — тоже отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что Надежда Васильевна ближе стояла к отцу, чем к матери. В ней до мельчайших подробностей отпечатлелись все те характерные особенности бахаревского типа, который старый Лука подводил под одно слово: «прерода».

Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексеевна, как ни сдерживала свой язык, но под конец выгрузила давивший ее запас последних городских новостей. Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, что Половодов, конечно, умный человек, но гордец, которого следует проучить. Всего несколько дней назад Хионии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, но она не могла им воспользоваться, потому что тут была замешана его сестра, Анна Павловна; а Анна Павловна, девушка хотя и не первой молодости и считает себя передовой, но... и т. д. и т. д.

— Да что я говорю? — спохватилась Хиония Алексеевна. — Ведь Половодов и Ляховский ваши опекуны, Сергей Александрыч, — вам лучше их знать.

— Лично мне не приходилось иметь с ними дела, — ответил Привалов.

— Да, да... А Nicolas Веревкин... ведь вы, кажется, с ним вместе в университете учились, если не ошибаюсь?

— Да, вместе.

— Какой это замечательно умный человек, Сергей Александрыч. Вы представить себе не можете! Купцы его просто на руках носят... И какое остроумие! Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так: «Господа судьи и господа присяжные... Я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, почерпнул щей и пронес ее, вместо рта, к уху». Понимаете: восторг и фурор!..

— Нужно спросить, Хиония Алексеевна, во что обходится остроумие Веревкина его клиентам, — заметил Бахарев.

— Ах, Василий Назарыч... Конечно, Nicolas берет крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое время... Не правда ли, Марья Степановна?

Марья Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и

Виктора Васильича, которые давно пересмеивались насчет Хионии Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, наклонилась над самой тарелкой; кажется, еще одна капелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым молодым смехом, какого стены бахаревского дома не слыхали со дня своего основания. Верочку спасло только то, что в самый критический момент все поднялись из-за стола, и она могла незаметно убежать из столовой.

Глава 6

Сейчас после обеда Василий Назарыч, при помощи Луки и Привалова, перетащился в свой кабинет, где в это время, по стариковской привычке, любил вздремнуть часик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти.

— Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться, — остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, на котором укладывал свою больную ногу. — Ведь при тебе это было, когда умер... Холостов? — старик с заметным усилием проговорил последнее слово, точно эта фамилия стояла у него поперек

горла.

— Нет, я в это время был в Петербурге, — ответил Привалов, не понимая вопроса.

— Нет, не то... Как ты узнал, что долг Холостова переведен министерством на ваши заводы?

— Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, сейчас же отправился в министерство навести справки. У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые и рассказали все, то есть, что решение по делу Холостова было получено как раз в то время, когда Холостов лежал на столе, и что министерство перевело его долг на заводы.

— Меня просто убило это известие, — грустно заговорил Бахарев. — Это несправедливо... Холостов как ваш вотчим и опекун делает миллионный долг при помощи мошенничества, его судят за это мошенничество и присуждают к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, а когда он умирает, долг взваливают на вас, наследников. Я еще понимаю, что дело о Холостове затянули на десять лет и вытащили решение в тот момент, когда Холостова уже нельзя было никуда сослать, кроме цар-

ствия небесного... Я это еще понимаю, потому что Холостов был в свое время сильным человеком и старые благоприятели поддерживали; но перевести частный долг, притом сделанный мошеннически, на наследников... нет, я этого никогда не пойму. А затем эти семьсот тысяч, которые были взяты инженером Масманом во время казенной опеки над заводами, — они тоже перенесены на заводы?

— Да, и они перенесены на нас, потому что деньги были выданы правительством Масману на усиление заводского действия.

— Хорошо. Но ведь Масман до сих пор не представил еще никакого отчета о расходовании этих сумм?

— Ничего не представил.

— Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непременно и притянуть Масмана во что бы то ни стало.

— Василий Назарыч, ведь со времени казенной опеки над заводами прошло почти десять лет... Несмотря ни на какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный департамент, в дворянскую опеку, везде

один ответ: «Ничего не знаем... Справьтесь где-нибудь в другом месте».

— А Масман живет в Петербурге?

— Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собственном имении.

— Купленном на ваши деньги?.. Ха-ха... Ты был у него?

— Несколько раз.

— «Болен» или «не принимают»? Подлецы...

Василий Назарыч тяжело завозился на своем диване и закусил губу.

— А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти два долга?

— Около четырех миллионов...

— Да. Когда отец твой умер, на заводах не было ни копейки долгу; оставались еще кой-какие крохи в бумагах да прииски. Когда мачеха вышла за Холостова, он в три года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, сделал миллионный долг и совсем уронил заводы. Я надеялся, что когда заводы будут под казенной опекой, — они если не поправятся, то не будут приносить дефицита, а между тем Масман в один год нахлопал на за-

воды новый миллионный долг. Когда заводы перешли в опекунское управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный, и добился ежегодного дивиденда в триста тысяч рублей. Но куда идут деньги?.. Чтобы выплатить четырехмиллионный долг, необходимо поднимать заводы; затем, из этих же денег приходится выплачивать хоть часть процентов по долгу; наконец, остатки уходят на наследников. Мачеха получила свою четырнадцатую часть, вас трое...

— Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий Назарыч.

— Разве я не знаю... Что же, ты видел эту... ну, мачеху свою?

— Нет, я сам не видал, а слышал много.

— Она все в Москве?

— Да. Второй брат страдает тихим помешательством, а младший, Тит, пропал без вести.

— Да, слышал, слышал... Что-нибудь да не чисто в этом деле, я так думаю.

— Теперь трудно сказать, Василий Назарыч.

— Взять теперешних ваших опекунов: Ля-

ховский — тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно; Половодов еще только присматривается, нельзя ли сорвать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи лез, чтобы, по крайней мере, привести все в ясность; из-за этого и с Ляховским рассорился, и опеку оставил, а на мое место вдруг назначают Половодова. Если бы я знал... Мне хотелось припугнуть Ляховского, а тут вышла вон какая история. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело испортил.

— Зачем вы так говорите, Василий Назарыч?

— А вот поживи с мое, тогда и сам узнаешь, что и чего стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете: везде неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, сирот; отец оставил вам Шатровские заводы в полном ходу; тогда они больше шести миллионов стоили, а теперь, если пойдут за долг с молотка, и четырех не дадут. Одной земли четыреста тысяч десятин под заводами... Ох-хо-хо! Не думал я дожить до того, чтобы Шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капита-

лы Да, Павел-то Михайлыч и дочку-то свою загубил из-за них... Ну, будет, ступай теперь к бабам, а я отдохну.

Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из кабинета, чтобы скрыть овладевшее им волнение; об отдыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал все время с открытыми глазами. Появление Привалова обрадовало честного старика и вместе с тем вызвало всю желчь, какая давно накопилась у него на сердце.

Глава 7

Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только заслышала шаги подходившего Привалова; она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи Степановны, проговорила с ударением:

— Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь свои...

Привалов шел не один; с ним рядом выступал Виктор Васильич, пока еще не знавший, как ему держать себя. Марья Степановна увела гостя в свою гостиную, куда Досифея подала на стеклянных старинных тарелочках несколько сортов варенья и в какой-то мудре-

ной китайской посудине ломоть сотового меда.

— Ведь это Досифея? — спрашивал Привалов, когда глухонемая остановилась у дверей, чтобы еще раз посмотреть на гостя.

— Да... вспомнил старуху?

— Помилуйте, мы с Костей частенько воевали с ней, — засмеялся Привалов.

Досифея поняла, что разговор идет о ней, и мимикой объяснила, что Костеньки нет, что его не любит сам и что она помнит, как маленький Привалов любил есть соты.

— Я и теперь их люблю, — отвечал Привалов на энергичные жесты Досифеи. — Спасибо, что не забыла меня...

Досифея радостно замычала и скрылась. Марья Степановна принялась усиленно потчевать гостя сластями, потому что гостеприимство для нее было священной обязанностью. Привалов должен был отведать всего, чтобы не обидеть хозяйки. Он с большим удовольствием слушал степенную речь Марьи Степановны, пока она подробно рассказывала печальную историю Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Почти все или вымерли,

или разорились; пошел совсем другой народ, настали и другие порядки. Мимоходом Марья Степановна успела пожаловаться на Василия Назарыча, который заводит новшества: старшую дочь выдумал учить, новую мебель у себя поставил, знается с бритоусами и табашниками. В этих жалобах было столько старчески забавного, что Привалов все время старался рассматривать мелкие розовые и голубые цветочки, которые были рассыпаны по сарафану Марьи Степановны. Сарафан Марьи Степановны был самый старинный, из тяжелой шелковой материи, которая стояла коробом и походила на кожу; он, вероятно, когда-то, очень давно, был бирюзового цвета, а теперь превратился в модный gris de perle.[16]

— Какой у вас старинный сарафан, — проговорил Привалов.

Эта похвала заставила Марью Степановну даже покраснеть; ко всякой старине она питала нечто вроде благоговения и особенно дорожила коллекцией старинных сарафанов, оставшихся после жены Павла Михайлыча Гуляева «с материной стороны». Она могла рассказать историю каждого из этих сарафа-

нов, служивших для нее живой летописью и биографией давно умерших дорогих людей.

— Это твоей бабушки сарафан-то, — объяснила Марья Степановна. — Павел Михайлыч, когда в Москву ездил, так привез материю... Нынче уж нет таких материй, — с тяжелым вздохом прибавила старушка, расправляя рукой складку на сарафане. — Нынче ваши дамы сошьют платье, два раза наденут — и подавай новое. Материи другие пошли, и люди не такие, как прежде.

— Ну, маменька, нынче люди самые настоящие, — заметил Виктор Васильич, которому давно надоело слушать эти разговоры о старинных людях.

— Поди ты... Нашел настоящих людей!

— Значит, и мы с Сергеем Александрычем никуда не годимся?

— Перестань балясы точить: я дело говорю.

Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе, но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла туда только за спиной Надежды Васильевны и сейчас же спряталась за стул Марьи Степановны. С появлением девушек в комнату ворвались разные

детские воспоминания, которые для постороннего человека не имели никакого значения и могли показаться смешными, а для действующих лиц были теперь особенно дороги. Привалов многое успел позабыть из этого детского мира и с особенным удовольствием припоминал разные подробности, которые рассказывала Надежда Васильевна. «Помните вот это-то?», «А помните, как Виктор...» Эти фразы мягка ласкали слух, и Привалов с глубоким наслаждением чувствовал на себе теплоту домашнего очага, которого лишила его судьба. Как все это было давно и, вместе, точно случилось только вчера!..

— Будет вам, стрекозы, — строго остановила Марья Степановна, когда всеми овладело самое оживленное настроение, последнее было неприлично, потому что Привалов был все-таки посторонний человек и мог осудить. — Мы вот все болтаем тут разные пустяки, а ты нам ничего не расскажешь о себе, Сергей Александрыч.

— Право, не знаю, что и рассказывать, Марья Степановна, — ответил Привалов.

— На вот, жил пятнадцать лет в столице,

приехал — и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон какие россказни распустили.

— Мама, какая ты странная, — вступилась Надежда Васильевна. — Все равно мы с тобой не поймем, если Сергей Александрыч будет рассказывать нам о своих делах по заводам.

— Да ведь пятнадцать лет не видались, Надя... Это вот сарафан полежит пятнадцать лет, и у того сколько новостей: тут моль подбила, там пятно вылежалось. Сергей Александрыч не в сундуке лежал, а с живыми людьми, поди, тоже жил...

Последнее поразило Привалова: оглянувшись на свое прошлое, он должен был сознаться, что еще не начинал даже жить в том смысле, как это понимала Марья Степановна. Сначала занятий в университете, а затем лет семь ушло как-то между рук, — в хлопотах по наследству, в томительном однообразии разных сроков, справок, деловых визитов, в шатании по канцеляриям и департаментам. Жизнь оставалась еще впереди, для нее откладывалось время год за годом, а между тем приходилось уже вычеркивать из этой жиз-

ни целых тридцать лет. Прямой вопрос Марьи Степановны, подсказанный ей женским инстинктом, поставил Привалова в неловкое положение, из которого ему было довольно трудно выпутаться; Марья Степановна могла истолковать его молчание о своем прошлом в каком-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать об университете, о профессорах, о столичных удовольствиях.

«Ну, а как там эти штучки разные?..» — весело думал Виктор Васильич, уносясь в сферу столичных развеселых мест.

Глава 8

Вечером этого многознаменательного дня в кабинете Василья Назарыча происходила такая сцена. Сам старик полулежал на свеем диване и был бледнее обыкновенного. На низенькой деревянной скамеечке, на которую Бахарев обыкновенно ставил свою больную ногу, теперь сидела Надежда Васильевна с разгоревшимся лицом и с блестящими глазами.

— Папа, пожалей меня, — говорила девушка, ласкаясь к отцу. — Находиться в положении вещи, которую всякий имеет право при-

ходить осматривать и приторговывать... нет, папа, это поднимает такое нехорошее чувство в душе! Делается как-то обидно и вместе с тем гадко... Взять хоть сегодняшний визит Привалова: если бы я не должна была являться перед ним в качестве товара, которому только из вежливости не смотрят в зубы, я отнеслась бы к нему гораздо лучше, чем теперь.

— В чем же это Привалов так провинился пред тобой? — с добродушной улыбкой спрашивал Василий Назарыч.

— Да начать хоть с Хины, папа. Ну, скажи, пожалуйста, какое ей дело до меня? А между тем она является с своими двусмысленными улыбками к нам в дом, шепчет мне глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже не лучше.

— Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не приглашаю Хины; я в дела мамы не вмешиваюсь.

— Вот я назло маме и Хине нарочно не пойду замуж за Привалова... Я так давеча и маме сказала, что не хочу разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном положении.

— Все это так, Надя, но я все-таки не вижу, в чем виноват тут Сергей Александрыч...

— А вот сейчас... В нашем доме является миллионер Привалов; я по необходимости знакомлюсь с ним и по мере этого знакомства открываю в нем самые удивительные таланты, качества и добродетели. Одним словом, я кончаю тем, что начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Приваловой!» Ведь тысячи девушек сделали бы на моем месте именно так...

— Решительно ничего не понимаю... Тебя сводит с ума глупое слово «жених», а ты думай о Привалове просто как о хорошем, умном и честном человеке.

— Нет, постой. Это еще только одна половина мысли. Представь себе, что никакого миллионера Привалова никогда не существовало, на свете, а существует миллионер Сидоров, который является к нам в дом и в котором я открываю существо, обремененное всеми человеческими достоинствами, а потом начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Сидоровой!» Отсюда можно вывести только такое заключение, что дело совсем не

в том, кто явится к нам в дом, а в том, что я невеста и в качестве таковой должна кончить замужеством.

— Тебя никто не гонит замуж, Надя.

— Я тебя за это и люблю... А мама, Досифея, Лука, Хина — да все, решительно все, кажется, с ума сошли.

— Да, но ведь трудно обвинять людей в том, чего они не в состоянии понимать.

— Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, я никогда не пойду замуж, папа.

— И отличное дело: устрою в монастырь... Ха-ха... Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня... Только не осуждай мать, не бери этого греха на душу: жизнь долга, Надя; и так и этак передумаешь еще десять раз.

Василий Назарыч рассказал дочери последние известия о положении приваловского наследства и по этому случаю долго припоминал разные эпизоды из жизни Гуляевых и Приваловых. Девушка внимательно слушала все время и проговорила:

— Все-таки, папа, самые хорошие из них были ужасными людьми. Везде самодурство, произвол, насилие... Эта бедная Варвара Гуля-

ева, мать Сергея Александрыча, — сколько, я думаю, она вынесла...

— Да, сошла, бедная, с ума... Вот ты и подумай теперь хоть о положении Привалова: он приехал в Узел — все равно как в чужое место, еще хуже. А знаешь, что загубило всех этих Приваловых? Бесхарактерность. Все они — или насквозь добрейшая душа, или насквозь зверь; ни в чем середины не знали.

— А Сергей Александрыч, по-твоему, папа, как будет?

— Сергей Александрыч... Сергей Александрыч с Константином Васильичем всё книжки читали, поэтому из них можно и крупы и муки намолоть. Сережа-то и маленьким когда был, так зверьком и выглядывал: то веревки из него вей, то хоть ты его расколи, — одним словом, приваловская кровь. А впрочем, кто его знает, может, и переменился.

Глава 9

Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны между собой.

Приваловы как заводовладельцы пользовались большой известностью на Урале. Им принадлежали знаменитые Шатровские заво-

ды, занимавшие площадь в четыреста тысяч десятин богатейшей в свете земли. Как большинство уральских заводчиков, последние представители фамилии Приваловых жили нараспашку, предоставив все заводское дело на усмотрение крепостных управителей. В результате оказалось, конечно, то, что заводское хозяйство начало хромать на обе ноги, и заводы, по всей вероятности, пошли бы с молотка Но счастливый случай спас их: в половине сороковых годов владельцу Шатровских заводов, Александру Привалову, удалось жениться на дочери знаменитого богача-золотопромышленника Павла Михайлыча Гуляева Непосредственный результатом слияния этих знаменитых фамилий было появление на свет нашего героя, Сергея Привалова. Оно было встречено и отпраздновано с царской роскошью: гремели пушки, рекой лилось шампанское, и целый месяц в приваловском доме угощались званый и незваный. Павел Михайлыч подарил своему внуку «на зубок» десять пудов золота.

Сергей Привалов помнил своего деда по матери как сквозь сон Это был высокий,

сгорбленный седой старик с необыкновенно живыми глазами. Он страстно любил внука и часто говорил ему:

— Ведь ты у меня один... Один, как перст!..

Шестилетний мальчик не понимал, конечно, значения этих странных слов и смотрел на деда с широко раскрытым ртом. Дело в том, что, несмотря на свои миллионы, Гуляев считал себя глубоко несчастным человеком: у него не было сыновей, была только одна дочь Варвара, выданная за Привалова.

— Что дочь? — рассуждал старик раскольник. — Дочь все одно, что вешняя вода: ждешь ее, радуешься, а она пришла и ушла...

Павел Михайлыч Гуляев был из архангельских помор. Его предки бежали из разоренных скитов на Урал, где в течение целого столетия скитались по лесным дебрям и раскольничьим притонам, пока не освоились совсем в Шатровских заводах. Приваловы, как и другие заводчики, открыто держали всяких беглых и беспаспортных бродяг, потому что этот разношерстный гулящий люд составлял для них главную рабочую силу. Раскольникам они покровительствовали в особенности,

потому что они сами тоже придерживались старины, и при помощи золота отводили от них всякие беды и напасти. Когда в первой четверти настоящего столетия были открыты прииски в Восточной Сибири, в глубине енисейской тайги, Павел Гуляев был в числе первых рабочих на золотых приисках. В каких-нибудь десять лет он быстро прошел путь от простого рабочего до звания настоящего золотопромышленника, владевшего одним из лучших приисков во всей Сибири. Крепкий был человек Гуляев, и когда он вернулся на Урал, за ним тянулась блестящая слава миллионера. Из Шатровских заводов Гуляев все-таки не выехал и жил там все время, которое у него оставалось свободным от поездок в тайгу. Громадный деревянный дом, который выстроил себе Гуляев в Шатровском заводе, представлял из себя и крепость, и монастырь, и богато убранные палаты. Это была полная чаша во вкусе того доброго старого времени, когда произвол, насилия и все темные силы крепостничества уживались рядом с самыми светлыми проявлениями человеческой души и мысли. Жизнь в гуляевских палатах была

создана по типу древнего благочестия, в жертву которому здесь приносилось все.

Мы уже сказали, что у Гуляева была всего одна дочь Варвара, которую он любил и не любил в одно и то же время, потому что это была дочь, тогда как упрямому старику нужен был сын. Избыток того чувства, которым Гуляев тяготел к несуществующему сыну, естественно, переходил на других, и в гуляевском доме проживала целая толпа разных сирот, девочек и мальчиков. По большей части это были дети гонимых раскольников, задыхавшихся по тюрьмам и острогам; Гуляеву привозили их со всех сторон, где только гнездился раскол: с Ветки, из Керженских лесов, с Иргиза, из Стародубья, Чернораменских скитов и т. д. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, гревшегося под гостеприимной кровлей гуляевских палат. Они получали строгое воспитание под началом раскольничьих начетчиц и старцев, и потом мальчики увозились на прииски, девочки выходили замуж или терпеливо ждали своих суженых.

— Ну, что мое гнездо? — спрашивал обык-

новенно Гуляев, когда приезжал с приисков домой.

Это «гнездо» вносило совершенно особенную струю в гуляевский дом. Около старого раскольника Гуляева создавалось что-то вроде домашнего культа. «Это сказал сам Павел Михайлыч», «Так делает сам Павел Михайлыч» — выше этого ничего не было. Слово Гуляева было законом. Из этого гуляевского гнезда вышло много крепких людей, известных всему Уралу и в Сибири. Фамилии Колпаковых, Полуяновых, Бахаревых — все это были птенцы гуляевского гнезда, получившие там вместе с кровом и родительской лаской тот особенный закал, которым они резко отличались между всеми другими людьми. В них продолжали жить черты гуляевского характера — выдержка, сила воли, энергия, неизменная преданность старой вере, — одним словом, все то, что давало им право на название крепких людей.

Василий Назарыч Бахарев и Марья Степановна, известные в гуляевском доме под названием Васи и Маши, пользовались особенной любовью старика Гуляева. Они были

круглыми сиротами и всеми силами молодой души приросли к гуляевскому дому. Марья Степановна как женщина окружила жизнь в этом доме целым ореолом святых для нее воспоминаний. Из них прежде всего, конечно, выступала типичная фигура самого Павла Михайлыча, затем его жены и дочери Варвары, вышедшей впоследствии за Александра Привалова. Поэтому понятно, что на сына своей подруги Марья Степановна смотрела глазами родной матери. Один вид Сергея Привалова поднимал пред ней целый ряд дорогих ее сердцу покойников. Брак между Васей и Машей был актом воли Павла Михайлыча. Старик однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на Васю, сказал всего только несколько слов; «Вот, Маша, тебе жених... После спасибо мне скажешь». Девушка повалилась в ноги своему названому отцу, и этим вся церемония закончилась. Через две недели Бахаревы были повенчаны по раскольничьему обряду.

— Береги его, Маша, — проговорил Гуляев, когда поздравлял молодых. — У меня Василий правая рука... Вот тебе мой сказ.

Бахарев действительно был правой рукой Гуляева и с десяти лет находился при нем безотлучно. Они исколесили всю Сибирь, и мало-помалу Бахарев сделался поверенным Гуляева и затем необходимым для него человеком.

Когда Гуляев выдал свою дочь за Привалова, он сказал Бахареву:

— Не видать бы Привалову моей Варвары, как Своих ушей, только уж, видно, такое его счастье... Не для него это дерево растилось, Вася, да, видно, от своей судьбы не уйдешь. Природа-то хороша приваловская... Да и заводов жаль, Вася: погинули бы ни за грош. Ну, да уж теперь нечего тужить: снявши голову, по волосам не плачут.

Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем замужество Марьи Степановны. Последняя имела хоть некоторое основание подозревать, что ее Выдадут за Бахарева, и свыклась с этой мыслью, а дочь миллионера даже не видала ни разу своего жениха, равным образом как и он ее. Когда, перед сватовством, жениху захотелось хоть издали взглянуть на будущую подругу своей жизни, это

позволили ему сделать только в виде исключительной милости, и то при таких условиях: жениха заперли в комнату, и он мог видеть невесту только в замочную скважину. Этот оригинальный брак был заключен из политических расчетов: раз, чтобы не допустить разорения Шатровских заводов и, второе, чтобы соединить две такие фамилии, как Привалов и Гуляевы. Павел Михайлыч никогда не любил своего зятя, но относился с глубоким уважением к фамилии, которую тот носил. В жертву этой фамилии была принесена и Варвара Гуляева.

Рождение внука было для старика Гуляева торжеством его идеи. Он сам помолодел и пестовал маленького Сережу, как того сына, которого не мог дождаться.

— Вот, Вася, и на нашей улице праздник, — говорил Гуляев своему Поверенному. — Вот кому оставлю все, а ты это помни: ежели и меня не будет, — все Сергею... Вот мой сказ.

Что нашла Варвара Гуляева в новой семье, — об этом никто не говорил, да едва ли кто-нибудь интересовался этим. Девушка разделила судьбу других богатых невест: все за-

видовали ее счастью, которое заключалось в гуляевских и приваловских миллионах. Богатая и вышла за богатого, — в эту роковую формулу укладывались все незамысловатые требования и соображения того времени, точно так же, как и нашего. В муже она нашла бесхарактерного, но доброго человека, который по-своему ее любил. Гуляев еще раньше выстроил Дочери в ближайшем уездном городе Узле целый дворец, в котором сам был только раз в жизни, именно когда у него родился внук. Старик слишком прирос к своему гнезду, чтобы менять его на узловские палаты. Отношения его к зятю были немного странные: во-первых, он ничего не дал за дочерью, кроме дома и богатого приданого; во-вторых, он не выносил присутствия зятя, над которым смеялся в глаза и за глаза, может быть, слишком жестоко. Но заводы были поддержаны гуляевскими капиталами, хотя и поступили под его полную опеку. Затем, когда сам Гуляев совсем состарился, он принял зятя в часть по своим сибирским приискам, причем всем делом верховодил по-прежнему Бахарев.

В таком положении дела оставались до са-

мой смерти Гуляева; старик и умер не так, как умирают другие люди. Бахарев был в тайге, когда получил с нарочным коротенькую записку Гуляева: «Вася, приезжай похоронить меня...» Дело было летнее. Работа на приисках кипела, но Бахареву пришлось оставить все и сломя голову лететь в Шатровские заводы. Когда его повозка остановилась перед крыльцом гуляевского дома, больной старик открыл глаза и проговорил; «Это Вася приехал...» Собственно, старик не был даже болен, и по его наружности нельзя было заключить об опасности.

— Нет, Вася, умру... — слабым голосом шептал старик, когда Бахарев старался его успокоить. — Только вот тебя и ждал, Вася. Надо мне с тобой переговорить... Все, что у меня есть, все оставляю моему внучку Сергею... Не оставляй его... О Варваре тоже позаботься: ей еще много горя будет, как я умру...

Зятя Гуляев не пожелал видеть даже перед смертью и простился с ним заочно. Вечером, через несколько часов после приезда Бахарева, он уснул на руках дочери и Бахарева, чтоб больше не просыпаться.

Предсказание старика Гуляева скоро исполнилось.

После его смерти все в его собственном доме и в доме Привалова пошло вверх дном. Грозы больше не было, и Александр Привалов развернулся. Он только рассмеялся, когда узнал, что Гуляев все капиталы завещал внуку. В качестве опекуна собственного сына он принял всё хозяйство на себя. Гнездо было разорено, и в приваловских палатах полилась широкой рекой такая жизнь, о которой по настоящее время ходят баснословные слухи. Все усилия Бахарева и жены Привалова отстоять интересы Сергея Привалова разлетелись прахом. Александр Привалов слишком долго ждал и слишком много выносил от своего тестя, чтобы теперь не вознаградить себя сторицей. Это печальное время совпало как раз с открытием богатейших золотоносных россыпей в глубине Саянских гор, что было уже делом Бахарева, который теперь вел дело в компании с Приваловым. Несмотря на свою близость к старику Гуляеву, а также и на то, что в течение многих лет он вел все его громадные

дела, Бахарев сам по себе ничего не имел, кроме знания приискового дела и несокрушимой энергии. Неудачи только разжигали его прямую натуру, и он с новыми силами шагал почти через непреодолимые препятствия. Разведки в Саянских горах живо унесли у него последние сбережения, и он принужден был принять к себе в компанию Привалова, то есть вести дело уже на приваловские капиталы. Сам Привалов относился к Бахареву с слепым доверием. Первый прииск, открытый на безыменной горной речке, был назван в честь жены Привалова Варваринским. Этот прииск в течение десяти лет, в сороковых годах, дал чистой прибыли больше десяти миллионов. Таким образом, в руках Александра Привалова очутились баснословные богатства, которыми он распорядился по-своему и которые стоили его жене жизни.

Беспримерное, чудовищное богатство Привалова создало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат-золотопромышленник, как какой-то французский король, готов был платить десятки тысяч за всякое новое удовольствие, которое могло бы хоть на вре-

мя оживить притупленные нервы Гуляевский дом в Узле был отделан с царской роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце в наше расчетливое, грошовое время, трудно даже представить; можно сказать только, что русская натура развернулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой, и в этом разливном море угощались званый и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба. Часто и хозяин и гости прямо с пьяной оргии попадали в моленные и здесь отбивали земные поклоны до синяков на лбу. Словом, жизнь, не сдерживаемая более ничем, не знала середины и лилась через край широкой волной, захватывая все на своем пути. Но обыкновенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул овладел всеми: на целые десятки верст дорога устилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компании на бешеных тройках; лошадей не только поят, но даже моют шампанским; бесчисленные гости располага-

ются как у себя дома, и их угощают целым гаремом из крепостных красавиц.

Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии совсем изменился и, как говорили о нем, — задурил. Вконец притупившиеся нервы и расслабленные развратом чувства не могли уже возбуждаться вином и удовольствиями: нужны были человеческие страдания, стоны, вопли, человеческая кровь.

В числе благоприятелей Привалова особенной известностью пользовался некоторый Сашка Холостов, отставной казачий офицер. Это был атлетически сложенный человек, выпивавший зараз дюжину шампанского и ходивший, для потехи своего патрона, на медведя один на один. Этот Сашка был настоящий зверь, родившийся по ошибке человеком. Он пользовался неограниченным влиянием в доме. Без Сашки Привалов не мог жить и даже укладывал его спать в свою собственную спальню. Стоило Привалову сказать: «скучно», и Сашка придумывал какую-нибудь шутку, чтобы развлечь его. Известно, что круг удовольствий, доступных человеку, крайне

ограничен, поэтому Сашке пришлось очень скоро обратиться к безобразиям. Несчастная жена Привалова, конечно, не могла сочувствовать той жизни, которая творилась вокруг нее. Воспитанная в самых строгих правилах беспрекословного повиновения мужней воле, она все-таки как женщина, как жена и мать не могла помириться с теми оргиями, которые совершались в ее собственном доме, почти у нее на глазах. Потерявшаяся в этом вихре одинокая женщина могла только всеми силами ненавидеть Сашку, которого считала источником всяких бед и злоключений. Сашка и начал с нее.

Прежде всего Сашка подействовал на супружеские чувства Привалова и разбудил в нем ревность к жене. За ней следят, ловят каждое ее слово, каждый взгляд, каждое движение... Сашка является гениальным изобретателем в этой чудовищной травле. Счастливая наследница миллионов кончила сумасшествием и умерла в доме Бахарева, куда ее принесли после одной «науки» мужа замертво.

Сергею Привалову в это время было лет

семь или восемь Он едва помнил мать, но в его памяти отчетливо сохранилась картина торжественных похорон. Отца он помнил тоже по этому исключительному обстоятельству. Александру Привалову было тогда лет сорок пять. Это был широкоплечий, сгорбившийся человек, с опухшим желтым лицом и блуждающим утомленным взглядом бесстрастных серых глаз. На лбу были глубокие морщины, волосы открывали лысину, рот складывался в искривленную, неестественную улыбку. Мальчик боялся отца и был несказанно рад, когда он, сейчас после похорон, сказал Бахареву:

— Вот тебе Сергей... Делай с ним, что хочешь, только, ради бога, уведи отсюда!..

После смерти жены Привалов окончательно задурил, и его дом превратился в какой-то ад: ночью шли оргии, а днем лилась кровь крепостных крестьян, и далеко разносились их стоны и крики.

Все эти безобразия закончились неожиданной развязкой... Привалов выписал из Москвы хор цыган с красавицей Стешей во главе. Эта примадонна женила на себе опу-

стившегося окончательно золотопромышленника, а сама на глазах мужа стала жить с Сашкой. Однако нашлись добрые люди, которые открыли Привалову глаза на все творившиеся около него безобразия. Он решился примерно наказать неверную жену и вероломного друга, — попросту хотел замуровать их в стене, но этот великолепный план был разрушен хитрой цыганкой: ночью при помощи Сашки она выбросила Привалова в окно с высоты третьего этажа. На другой день в саду нашли его окоченелый труп.

После Привалова остались три сына: старший — Сергей, от первой жены, и двое, Иван и Тит, от Стеши. Вскоре после смерти мужа Стеша вышла замуж за Сашку, который был сделан опекуном над малолетними наследниками. Из предыдущего можно себе представить, что это был за опекун. В каких-нибудь пять лет он не только спустил последние капиталы, которые остались после Привалова, но чуть было совсем не пустил все заводы с молотка. Бахарев энергично вступился в это дело, и Сашка ограничился только закладом в государственный банк несуществовавшего

металла. Это делалось таким образом: сначала закладывалась черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, окончательно выделанное сортовое железо. Конечно, эта замысловатая операция не могла быть выполнена одним Сашкой, а он действовал при помощи горного исправника и иных. Во всяком случае, эта ловкая комбинация дала Сашке целый миллион, но в скором времени вся история раскрылась, и Сашка попал под суд, под которым и находился лет пятнадцать. Это вопиющее дело началось еще при старом судопроизводстве, проходило через десятки административных инстанций и кончилось как раз в тот момент, когда Сашка лежал на столе. Долг, сделанный им, был переведен на заводы.

Одного только не удалось сделать Сашке, — это захватить гуляевские капиталы, которые шли в часть старшего из наследников. Бахарев два раза съездил в Петербург, чтобы отстоять интересы Сергея Привалова, и, наконец, добился своего: гуляевские капиталы, то есть только остатки от них, потому что Александр Привалов не различал своего от имуще-

ства жены и много растратил, — были выделены в часть Сергея Привалова. Ему же достался гуляевский дом в Узле, который был дан стариком Гуляевым в приданое за дочерью. Мальчик еще при жизни отца находился под руководством Бахарева и жил в его доме; после смерти Александра Привалова Бахарев сделался опекуном его сына и с своей стороны употребил все усилия, чтобы дать всеми оставленному сироте приличное воспитание. Таким образом, Сережа Привалов долго жил в бахаревском доме и учился вместе с старшим сыном Бахарева Костей. Что касается двух других наследников, то Стеша, когда Сашка пошел под суд, увезла их с собой в Москву, где и занялась сама их воспитанием. Так как из всего имущества, которое осталось после Александра Привалова, Шат-ровские заводы оставались неразделенными за малолетством наследников, Бахарев в интересах Сергея Привалова вступил в число опекунов, назначенных от правительства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять упавшую производительность этих когда-то знаменитых заводов, и достиг своей цели только тогда, ко-

гда ему на помощь явился его старший сын Костя, который, кончив курс в университете, поступил управляющим в Шатровские заводы.

Глава 10

Жизнь в бахаревском доме навсегда осталась для Привалова самой светлой страницей в его воспоминаниях. Все, что он привык уважать и считал лучшим, он соединял в своем уме с именем Бахаревых.

Эта жизнь являлась сколком с той жизни, которая когда-то происходила в хоромах Павла Михайлыча Гуляева. Марья Степановна свято блюла все свычаи и обычаи, правила и обряды, которые вынесла из гуляевского дома; ей казалось святотатством переступить хотя одну йоту из заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века самым крепким оплотом древнего благочестия. Гуляевский дух еще жил в бахаревском доме, им держался весь строй семьи и, по-видимому, вливал в нее новые силы в затруднительных случаях. Карьера всякого золотопромышленника полна превратностей и внезапных превращений, а судьба Василия Назарыча была

особенно богата такими превращениями. Громадные барыши и убытки чередовались между собой. Это переменное счастье проходило красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску.

Сергей Привалов прожил в бахаревском доме до пятнадцати лет, а затем вместе с своим другом Костей был отправлен в Петербург, где и прожил безвыездно до настоящего времени, то есть больше пятнадцати лет.

За этот промежуток времени в бахаревском доме произошли очень крупные перемены. Начать с того, что теперь дом резко разделялся на две половины: половину Марьи Степановны и половину Василья Назарыча. Собственно говоря, такое разделение существовало только для одной Марьи Степановны, которая уже в течение десяти лет не переступала порога половины мужа. Сам Бахарев и дети совсем не признавали такого разделения и одинаково пользовались обеими половинами. Это разделение произошло мучительным путем семейных недоразумений и несогласий. Дети подрастали. Нужно было давать им воспитание. Василий Назарыч, обращавший-

ся в пестрой семье золотопромышленников, насмотрелся на всяких людей и пришел к тому убеждению, что воспитывать детей в духе исключительности раскольничьих преданий немыслимо. С своей стороны он желал дать им лучшее образование, поставить на дорогу, а там — как знают. В Сибири Бахареву часто приходилось встречаться с образованными честными людьми; он чутьем понял могучую силу образования и желал видеть в своих детях прежде всего образованных людей. Эти взгляды на воспитание встретили жестокий отпор со стороны Марьи Степановны, которая прожила целую жизнь в замкнутой раскольничьей среде и не хотела знать никаких новшеств После долгой борьбы она все-таки сдалась для сыновей, дочерей же не позволяла ни под каким видом «басурманить». Но здесь Бахареву было уже значительно легче выиграть дело, потому что в лице сыновей он имел известный прецедент и некоторую помощь. Они уже вносили с собой новую струю в жизнь бахаревского дома; одно их присутствие говорило о другой жизни. После долгих колебаний дело разрешилось вполовину:

старшую дочь Надежду Марья Степановна уступила отцу, а младшую оставила при себе.

— Ты от меня ее взял, ты и в ответе, — коротко резюмировала свою последнюю волю Марья Степановна. — Если бы жив был Павел Михайлыч...

— Маша, Маша, — уговаривал жену Бахарев, — ведь теперь другие люди, другое время...

— Ну и живи с другими людьми!

С этого времени и произошло разделение бахаревского дома на две половины: Марья Степановна в этой форме заявила свой последний и окончательный протест.

Василий Назарыч, отстаивая образование детей, незаметно сам втянулся в новую среду, вошел в сношения с новыми людьми, и на его половине окончательно поселился дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с двенадцати лет принадлежала Надежде Васильевне, которая из всех детей была самой близкой сердцу Василья Назарыча. Он любил с нею рассуждать о своих делах и часто поверял ей свои самые задушевные мысли. Из этих дружеских отношений между отцом и

дочерью постепенно выработался совершенно особенный склад жизни на половине Василья Назарыча: другие разговоры, интересы и даже самый язык. Отец и дочь понимали друг друга по одному движению, с полуслова.

Старшего сына, Костю, Бахарев тоже очень любил, но тот почти совсем не жил дома, а когда, по окончании университетского курса, он вернулся домой, между ними и произошли те «контры», о которых Лука сообщил Привалову. Дело в том, что Константин Бахарев был упрям не менее отца, а известно, что двум медведям плохо жить в одной берлоге. После одного крупного разговора отец и сын разошлись окончательно, хотя, собственно говоря, все дело вышло из пустяков. Это обстоятельство окончательно сблизило отца и дочь, так что Василий Назарыч не мог жить без нее. Надежда Васильевна понимала, что отец инстинктивно старается найти в ней то, что потерял в старшем сыне, то есть опору наступавшей бессильной старости; она делала все, чтобы подняться до уровня отцовского миросозерцания, и вполне достигла своей цели.

Как это ни странно, но главным фавори-

том и родительской слабостью Марьи Степановны был ее сынок Виктор Васильич. Он никогда не выходил из ее воли, после всякой проказы или шалости немедленно просил прощения, раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний исправиться. Вместе с годами из детских шалостей выросли крупные недостатки, и Виктор Васильич больше не просил у матери прощения, полагаясь на время и на ее родительскую любовь. Выгнанный из третьего класса гимназии, он оставался без определенных занятий, и Василий Назарыч давно махнул на него рукой. По натуре добрый и по-своему неглупый, Виктор Васильич был тем, что называется «рубаха-парень», то есть не мог не делать того, что делали другие, и шел туда, куда его толкали обстоятельства. Это была неустойчивая, подвижная, крайне впечатлительная натура, искавшая деятельности и не находившая ее. Попеременно Виктор Васильич был мыловаром, техником, разведчиком алмазных копей; теперь он пока успокоился на звании уксусного заводчика, потому что Василий Назарыч наотрез отказался оплачивать все другие его затеи. Вооб-

ще отец на многое по отношению к младшему сыну смотрел сквозь пальцы, не желая напрасно огорчать жену, и часто делал вид, что не подозревает печальной истины. Свою неудовлетворенную жажду деятельности Виктор Васильич с лихвой выкупал на поприще всевозможных художеств, где он не знал соперников. Устроить скандал в местном клубе, выбить стекла в избушке какой-нибудь благочестивой вдовы, освистать актрису, отколотить извозчика — все это было делом рук Виктора Васильича и составило ему почетную репутацию в среде узловской jeunesse doree.[17] Марья Степановна оправдывала такое поведение своего блудного сына молодостью и старалась исправить его домашними средствами. В крайних случаях она говорила: «Погоди, вот ужо скажу отцу-то. Он тебе задаст!» Эта невинная угроза слишком часто повторялась в своей стереотипной форме, чтобы напугать даже менее смелого человека, чем Виктор Васильич.

На втором плане, сейчас за Виктором Васильичем, стояла Верочка, или Верета, как называл ее Виктор Васильич, она же и «булка».

Это была самая обыкновенная девушка, любившая больше всего на свете плотно покушать, крепко выспаться и визжать на целый дом. К печатной бумаге Верочка питала непреодолимое отвращение и употребляла ее только на обертки. Все в доме любили Верочку и считали ее простушкой и кисейной барышней. Последнее было не совсем справедливо. Верочка была очень практичной особой, и в ее красивой беззаботной головке жил сильный и здоровый, недоступный увлечениям ум. Такие барышни терпеливо дожидаются своих женихов, потом, повинуясь родительской воле, с расчетом выходят замуж, выводят дюжину краснощеких ребят, постепенно превращаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом в тех добрейших, милых старушек, которые выращивают внуков и правнуков и терпеливо доживают до восьмого десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой Досифеей в кухню, прачечную, погреб и кладовые; помогала солить капусту, разводила цветы и вечно возилась с выброшенными на улицу котятами, которых терпеливо выкармливала, а потом раздавала

по своим знакомым. Это практическое направление с годами настолько развилось и окрепло, что в шестнадцать лет Верочка держала в своих ручках почти целый дом, причем с ловкостью настоящего дипломата всегда умела остаться в тени, в стороне. По всему дому раздавался громкий голос Верочки и ее заразительный смех. Вместе с тем Верочка была очень суеверна и была убеждена, что все сны и приметы непременно сбываются. Набожна она была, как монахиня, и выстаивала, не моргнув глазом, самую длинную раскольничью службу, какая совершалась в моленной Марьи Степановны. Принять странника или раскольничью начетчицу, утешить плачущего ребенка, помочь больному, поговорить со стариками и старухами — все это умела сделать Верочка, как никто другой. У нее для всех обиженных судьбой и людьми всегда было в запасе ласковое, теплое слово, она умела и утешить, и погоревать вместе, а при случае и поплакать; но Верочка умела и не любить, — ее трудно было вывести из себя, но раз это произошло, она не забывала обиды и не умела прощать.

Глава 11

Приезд Привалова в уездный город Узел сделался событием дня, о котором говорили все, решительно все. Стоустая молва разнесла целую массу подробностей о его появлении в Узле, о каждом его шаге, каждом слове. Подняты были все те факты, которые давно позабылись и, казалось, навеки умерли вместе со своими героями. Таким образом сложилась почти чудовищная легенда, где быль вязалась с небылицами, ложь с действительностью, вымысел и фантазия с именами живых людей. Имена Александра Привалова, Гуляева, Сашки и Стешки воскресли с новой силой, и около них, как около мифологических героев, выросли предания, сказания очевидцев и главным образом те украшения, которые делаются добрыми скучающими людьми для красного словца Для этой гигантской работы застоявшейся провинциальной мысли и не знавшей удержу фантазии достаточно было всего нескольких дней, пока Привалов отдыхал от дороги в «Золотом якоре». Наследство Привалова в эти несколько дней выросло до ста миллионов, и, кроме того, хо-

дили самые упорные слухи о каких-то зарытых сокровищах, которые остались после старика Гуляева. На этой исторической почве быстро создалось и то настоящее, героем которого был действительный, невымышленный Сергей Привалов, сидевший в рублевом номере и виденный почти всеми.

Когда на сцену выступил сам Сергей Привалов, естественно, что общее внимание прежде всего обратилось к тому неизвестному, откуда он появился. В самом деле, что делал этот миллионер в Петербурге? Зачем он жил там до тридцати лет? Какую роль играют в этом старик Бахарев и опекуны? Вырастал целый лес таких вопросов, которые требовали самых остроумных догадок, объяснений, пикантных подробностей, свидетельских показаний. Прежде всего, конечно, всем и каждому было ясно то обстоятельство, что здесь была замешана женщина... Да, именно женщина, даже, может быть, и не одна, а две, три, дюжина. Итак: где женщина? Нашлись, конечно, сейчас же такие люди, которые или что-нибудь видели своими глазами, или что-нибудь слышали собственными ушами; дру-

гим стоило только порыться в своей памяти и припомнить, что было сказано кем-то и когда-то; большинство ссылалось без зазрения совести на самых достоверных людей, отличных знакомых и близких родных, которые никогда не согласятся лгать и придумывать от себя, а имеют прекрасное обыкновение говорить только одну правду. Таким образом сделалось всем известно, что Привалов провел в Петербурге очень бурную молодость в среде jeunesse doree самой высшей пробы; подробно описывали наружность его любовниц с стереотипными французскими кличками, те подарки, которые они в разное время получали от Привалова в форме букетов из сторублевых ассигнаций, баснословной величины брильянтов, целых отелей, убранных с княжеской роскошью. Нужно заметить, что все вышесказанное занимало только легкомысленные умы. Более серьезные и проницательные субъекты мало интересовались такими бреднями и старались разрешить вопрос, зачем Привалов приехал в Узел. Налицо уже было два очень красноречивых факта: во-первых, Привалов остановился в рублевом номе-

ре, во-вторых, он сделал первый визит Бахаревым на другой же день. Первый факт можно объяснить или тем, что Привалов навсегда покончил свою веселую жизнь с Блянш и Сюзет и намеревается посвятить себя мудрой экономии, или тем, что он хотел показать себя для первого раза оригиналом, или же, наконец, тем, что он думал сделать себе маленькое incognito. Объяснение второго факта не представляло такой простоты. Что заставило Привалова сделать визит Бахареву сейчас же по своем приезде в Узел? Почему он, Привалов, не сделал такого же визита своим опекунам? Не хотел ли он этим показать последним свое неудовольствие? Не находится ли в связи с этим подозрительная болезнь старика Бахарева? Наконец, может быть, Привалов приехал просто жениться на одной из дочерей Бахарева? Еще более интереса представлял тот вопрос, как отнесутся к этому факту опекуны Привалова, если принять его как вызов... Да, тут было над чем поломать голову, — заварилась очень крупная каша даже не для уездного города.

— Мне всего удивительнее во всем этом де-

ле кажется поведение Хионии Алексеевны, — несколько раз довольно многозначительно повторила Агриппина Филипьевна Веревкина, представительница узловского beau monde'a.[18] — Представьте: утром, в самый день приезда Привалова, она посылает ко мне свою горничную сказать, что приехал Привалов, а затем как в воду канула... Не понимаю, решительно не понимаю!..

Хиония Алексеевна в эти немногие дни не только не имела времени посетить свою приятельницу, но даже потеряла всякое представление о переменах дня и ночи. У нее был полон рот самых необходимых хлопот, потому что нужно было приготовить квартиру для Привалова в ее маленьком домике. Согласитесь, что это была самая трудная и сложная задача, какую только приходилось когда-нибудь решать Хионии Алексеевне. Но прежде мы должны сказать, каким образом все это случилось.

Когда Хиония Алексеевна еще сидела за обедом у Бахаревых, у нее мелькнул в голове отличный план поместить Привалова у себя на квартире. Это был очень смелый план, но

Хиония Алексеевна не унывала, принимая во внимание то, что Привалов остановился в рублевом номере а также некоторые другие материалы, собранные Матрешкой с разных концов. Всего труднее было решить вопрос, в какой форме сделать предложение Привалову: сделать это ей самой — неудобно; Виктор Николаич решительно был неспособен к выполнению такой дипломатической миссии; оставалось одно: сделать предложение через посредство Бахаревых; но каким образом? Хиония Алексеевна повела дело с дьявольской ловкостью, потому что ей нужно было подготовить Марью Степановну, которая отличалась большим умом и еще большим упрямством. Тонкая дама повела дело самым осторожным образом. Прежде всего ей пришлось пожалеть, что Привалову неудобно поместиться в доме Бахаревых, — злые языки могут бог знает что говорить! Затем она очень подробно распространилась о нынешних молодых людях, которые усваивают себе очень свободные привычки, особенно в столицах. Этим, конечно, Хиония Алексеевна ничего не хотела сказать дурного о Привалове, который

стоит выше всех этих сплетен и разных толков, но ведь в провинции ему покажется страшно скучно, и он может увлечься, а если попадет в такое общество... Нет слов, что для Nadine Привалов самая выгодная партия, но ведь все-таки к нему необходимо присмотреться, — кто знает, чтобы не пожалеть после. Вот если бы... Марья Степановна отлично понимала, какую игру затевала Хиония Алексеевна, но несколько времени колебалась и уже затем согласилась посоветовать Привалову пока поместиться в домике Хионии Алексеевны.

— Конечно, только пока... — подтверждала Хиония Алексеевна. — Ведь не будет же в самом деле Привалов жить в моей лачуге... Вы знаете, Марья Степановна, как я предана вам, и если хлопочу, то не для своей пользы, а для Nadine. Это такая девушка, такая... Вы не знаете ей цены, Марья Степановна! Да... Притом, знаете, за Приваловым все будут ухаживать, будут его ловить... Возьмите Зосю Ляховскую, Анну Павловну, Лизу Веревкину — ведь все невесты!.. Конечно, всем им далеко до Nadine, но ведь чем враг не шутит.

«Ох-хо-хо! Как бы эта Хина не сплавила нашего жениха в другие руки, — думала Марья Степановна, слушая медовые речи Заплатиной. — Придется ей, видно, браслетку подарить...»

— Ведь вы себе представить не можете, Марья Степановна, какие гордецы все эти Ляховские и Половодовы!.. Уж поверьте мне, что они теперь мечтают... да, именно мечтают, что вот приехал Привалов да прямо к ним в руки и попал...

Когда Марья Степановна посоветовала Привалову занять пока квартиру у m-me Заплатиной, он сейчас же согласился и даже не спросил, сколько комнат ему отведут и где эта квартира.

— Это та самая дама, которую вы видели у нас за обедом, — объясняла Марья Степановна. — Она очень образованная и живет своим трудом... Болтает иногда много, но все-таки очень умная дама.

— Благодарю вас, — добродушно говорил Привалов, который думал совсем о другом. — Мне ведь очень немного нужно... Надеюсь, что она меня не съест?.. Только вот имя у нее

такое мудреное.

— А мы ее Хиной зовем, — может, скорее запомнишь.

— Пусть будет Хина...

Когда Заплатина объявила своему мужу фамилию нового жильца, Виктор Николаич сначала усомнился, а потом с умилением проговорил:

— Ведь ты у меня гениальнейшая женщина!.. А!.. Этакого осетра в жильцы себе заполучила... Да ведь пожить рядом с ним, с миллионером... Фу, черт возьми, какая, однако, выходит канальская штука!..

— А мне, главное, хочется взбесить этих гордецов Половодовых и Ляховских, — задумчиво говорила гениальнейшая женщина. — Воображаю, как это их всех взбесит!.. Ха-ха!..

Хиония Алексеевна гналась не из большого: ей прежде всего хотелось насолить Половодовым и Ляховским, а там — что бог даст. Она еще не обдумала хорошенько всех выгод, которые представляла теперь занятая ею позиция. Ясно было одно, — именно, что ее фонды на узловской бирже должны быстро подняться: такой необыкновенный жених и бук-

вально у нее в руках, за стеной. От неиспытанного счастья у Заплатиной кружилась голова... Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, а она этак свысока посмотрит на них и улыбнется только.

«А там женишок-то кому еще достанется, — думала про себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания Марье Степановне. — Уж очень Nadine ваша нос кверху задирает. Не велика в перьях птица: хороша дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка! Конечно, Ляховский гордец и кощей, а если взять Зосю, — вот эта, по-моему, так действительно невеста: всем взяла... Да-с!.. Не чета гордячке Nadine...»

Хиония Алексеевна произносила этот монолог перед зеркалом, откуда на нее смотрело испитое, желтое лицо с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала в лапы лакомая добыча. Погрозив себе пальцем, почтенная дама проговорила:

— Главное, Хина, не нужно зарываться... Будь паинькой, а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим теперь, что будут поделывать Ляховские и Половодовы...

Ха-ха!.. Может быть, придется и Хине поклониться, господа...

В пылу увлечения Хиония Алексеевна сделала перед зеркалом pas des nymphes, как учили ее в пансионе.

Глава 12

Устроить комнаты для Привалова — составляло для Заплатиной очень замысловатую и сложную задачу, которую она решила в течение нескольких дней самым блестящим образом. Три небольшие уютные комнатки она убрала, как гнездышко. Приличная мебель, драпировки на окнах и дверях, цветы и картины — все было скромно, но очень удобно и с большим вкусом. Матрешка до десяти раз сбегала к лакею Привалова, чтобы подробно разузнать, как его барин жил раньше, какая у него квартира, мебель, любит ли он цветы, ковры и т. д. Согласно собранным сведениям, Заплатина и устроила свои три комнаты. Одна из них служила приемной, другая кабинетом, третья спальней.

Привалов удивился, когда Хиония Алексеевна ввела его во владение новой квартирой: ему очень понравились эти три небольшие

комнатки.

— Может быть, я заставил вас сделать лишние издержки? — спрашивал Привалов. — Тогда позвольте мне оставить все вещи за собой.

— О нет, зачем же!.. Не стоит говорить о таких пустяках, Сергей Александрыч. Было бы только для вас удобно, а я все готова сделать. Конечно, я не имею возможности устроить с такой роскошью, к какой вы привыкли...

— Нет, это напрасно, Хиония Алексеевна... Мне именно нравится эта простота.

Хиония Алексеевна была счастлива. Как ни привыкла она лгать, но в настоящем случае она говорила правду. Она готова была сделать все для Привалова, даже сделать не из корыстных видов, как она поступала обыкновенно, а просто потому, что это нужно было для Привалова, это могло понравиться Привалову. Простодушная похвала Привалова заставила ее покраснеть остатками крови, какая еще текла под ее сухой, сморщенной кожей. Одна мысль о том, что она входит в непосредственные сношения с настоящим миллионером, кружила ей голову и нагоняла

сладкое опьянение. В ней теперь проснулся тот инстинкт, который двигает всеми художниками: она хотела служить олицетворению миллионов, как брамин служит своему Браме. Ей казалось, что в своих маленьких комнатках она заперла магическую силу, которая, как магнит, сосредоточит на себе всеобщее внимание... Да, этого было даже слишком достаточно, и Хиония Алексеевна на некоторое время совсем вышла из своей обычной роли и ходила в каком-то тумане. Самые узкие и своекорыстные натуры способны к таким душевным порывам и внутреннему просветлению, когда они действуют не из расчета, а по вдохновению.

Кончив свое дело, Хиония Алексеевна заняла наблюдательную позицию. Человек Привалова, довольно мрачный субъект, с недовольным и глупым лицом (его звали Ипатом), перевез вещи барина на извозчике, Хиония Алексеевна, Матрешка и даже сам Виктор Николаич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каждым движением Ипата, пока он таскал барские чемоданы.

— Видно, что с деньгами, — соображала

Матрешка, обращавшаяся в суматохе с барыней самым фамильярным образом. — Тяжелые... страсть!..

— Дура, да разве деньги держат дома?!.. — обругала Хиония Алексеевна свою верную рабу.

Матрешка всегда держала двугривенные при своей особе, а целковые, которые посылала на ее долю судьба, она прятала иногда в старых тряпицах; поэтому она вопросительно посмотрела на свою барыню — уж не шутит ли она над ней?

— Деньги держат в банке... Понимаешь?.. — объясняла Хиония Алексеевна. — Дома украдут, а там еще проценты заплатят...

Матрешка усомнилась; она не отдала бы своих двугривенных ни в какой банк. «Так и поверила тебе, — думала она, делая глупое лицо, — нашла дуру...»

Очутившись в своей собственной квартире, Привалов вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три комнатки и с особенным удовольствием раскрыл дорожный сундук, в котором у него лежали самые дорогие вещи, то есть портрет матери, писанный мас-

ляными красками, книги и деловые бумаги. На портрете мать Привалова была нарисована еще очень молодой женщиной с темными волосами и большими голубыми глазами. У Павла Михайлыча Гуляева были такие же глаза и смотрели таким же глубоким, задумчивым взглядом. Тонкие породистые руки с длинными пальцами были выпростаны поверх голубого сарафана с затканными серебряными цветочками; белая кисейная рубашка открывала полную, немного смуглую шею, перехваченную жемчужной ниткой. Старинный кокошник почти совсем закрывал гладко зачесанные волосы, которые только на висках выбивались легкими завитками, придававшими портрету какое-то детское выражение. У Привалова волосы были такие же, как у матери, и он поэтому любил их.

«Что было бы, если бы ты была жива?» — думал Привалов.

Он рассматривал потемневшее полотно и несколько раз тяжело вздохнул: никогда еще ему не было так жаль матери, как именно теперь, и никогда он так не желал ее видеть, как в настоящую минуту. На душе было так

хорошо, в голове было столько мыслей, но с кем поделиться ими, кому открыть душу! Привалов чувствовал всем существом своим, что его жизнь осветилась каким-то новым светом, что-то, что его мучило и давило еще так недавно, как-то отпало само собой, и будущее было так ясно, так хорошо.

«Нужно работать и работать», — думал Привалов, разбирая свои бумаги; даже эти мертвые белые листы казались ему совсем другими, точно он их видел в первый раз.

Между прочим, разложив на столе большой план вальцовой мельницы, Привалов долго и особенно внимательно рассматривал его во всех подробностях. На плане мельница была нанесена со всеми пристройками, даже была не забыта крошечная избушка сторожа. Привалов машинально начертил тут же небольшой флигель в пять окон с маленьким цветничком впереди. Именно в этом флигельке теперь билось сердце Привалова, билось хорошим, здоровым чувством, а в окно флигелька смотрело на Привалова такое хорошее девичье лицо с большими темно-серыми глазами и чудной улыбкой.

Глава 13

Хиония Алексеевна немного рано отпраздновала свою победу: ни Ляховский, ни Половодов не приехали к Привалову с визитом и таким образом вполне сохранили за собой высоту своего положения. Это сердило и удивляло Хионию Алексеевну, потому что она, по странному свойству человеческой природы, переносила все, что относилось до жильца, на собственную особу. Почтенную даму даже бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел понимать коварства своих опекунов и оставался до безобразия спокойным. Хиония Алексеевна зорко следила за каждым его шагом и только презрительно покачивала головой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал налево.

— Опять... — произносила Хиония Алексеевна таким тоном, как будто каждый шаг Привалова по направлению к бахаревскому дому был для нее кровной обидой. — И чего он туда повадился? Ведь в этой Nadine, право, даже интересного ничего нет... никакой женственности. Удивляюсь, где только у этих мужчин глаза... Какой-нибудь синий чулок

и... тьфу!..

Хиония Алексеевна относительно своего жильца начала приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глуповат и позволяет водить себя за нос первой попавшейся на глаза девчонке. Несколько раз она нарочно ездила к Марье Степановне, чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь нового и что такое мог делать там Привалов. Нового Хиония Алексеевна узнала немного: Привалов больше проводил время в разговоре с Марьей Степановной или в кабинете старика. Nadine была еще глупее Привалова. Она подманивала жениха, как поповна. Со стороны даже было противно смотреть, как она нарочно старалась держаться в стороне от Привалова, чтобы разыграть из себя театральную ingenue, а сама то ботинок покажет Привалову из-под платья, то глазами примется работать, как последняя горничная. «Нечего сказать, воспитали сокровище!.. И Марья Степановна тоже хороша, — будто ничего не замечает, какие штучки выкидывает ученая дочка». Хионию Алексеевну начинало задевать за живое все, что она теперь видела в бахаревском доме; она даже подозревала, не

думает ли обойтись Марья Степановна совсем без нее. Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала Хионию Алексеевну в холодный пот, — она слишком увлеклась своим новым положением.

«Уж больно зачастил что-то, — думала Марья Степановна о Привалове, — пожалуй, люди еще бог знает что наскажут...»

Каждый новый визит Привалова и радовал Марью Степановну, и как-то заботил: она не могла не видеть, что Надя нравилась Привалову и что он инстинктивно ищет ее общества, но уж что-то очень скоро заваривалось то, чего так страстно желала в душе Марья Степановна.

— Ты бы сходил к Ляховскому-то, — советовала она Привалову материнским тоном, — он хоть и бусурман, а всех умнее в городе-то. Вот тоже к Половодову надо.

— Я каждый день собираюсь сделать эти визиты и каждый раз откладываю, — отвечал Привалов.

— Знаю, что тяжело тебе к ним идти, — пожалела Марья Степановна, — да что уж будешь делать. Вот и отец то же говорит.

Марья Степановна решилась переговорить с дочерью и выведать от нее, не было ли у них чего. Раз она заметила, что они о чем-то так долго разговаривали; Марья Степановна нарочно убралась в свою комнату и сказала, что у нее голова болит: она не хотела мешать «божьему делу», как она называла брак. Но когда она заговорила с дочерью о Привалове, та только засмеялась, странно так засмеялась.

— Право, мама, я вас не узнаю совсем, — говорила Надежда Васильевна, — с чего вы взяли, что я непременно должна выходить за Привалова замуж?

— А хоть бы и так, — худого нет; не все в девках сидеть да книжки свои читать. Вот мудрите с отцом-то, — счастья бог и не посылает. Глядите-ко, двадцать второй год девке пошел, а она только смеется... В твои-то годы у меня трое детей было, Костеньке шестой год шел. Да отец-то чего смотрит?

— Это все ваша Хина придумывает, мама.

— Хина?! Я и без Хины знаю, матушка.

— Вы, мама, добьетесь того, что я совсем не буду выходить из своей комнаты, когда у нас бывает Привалов. Мне просто совестно... Если

человек хорошо относится ко мне, так вы хотите непременно его женить. Мы просто желаем быть хорошими знакомыми — и только.

— Да ведь не с хорошими знакомыми жить-то, а с мужем!

— Муж найдется, мама В газетах напечатаем, что вот, мол, столько-то есть приданого, а к нему прилагается очень хорошая невеста... За офицера выйду!

— Полно пустяки-то молоть... Тогда в гостиной-то о чем вы целый час разговаривали?

— Вы непременно желаете это знать?

— Я тебя не заставляю исповедоваться, а так, к слову спросила.

— Я тоже к слову скажу вам: я читала книгу, Сергей Александрыч увидел... ну, о книге и говорили.

— Вот ты и оставайся с своей книгой, а Сергей Александрыч поедет к Ляховскому да на Зосе и женится.

— Что же, мама, Зося хорошая девушка, и Сергей Александрыч недурной человек, — отличная парочка выйдет. Я невесту провожать поеду.

— Мудришь много над матерью-то, Надежда Васильевна, — строго закончила Марья Степановна. — После чтобы не плакать...

Василий Назарыч все время прихварывал и почти не выходил из своего кабинета. Он всегда очень любезно принимал Привалова и подолгу разговаривал об опеке. От Надежды Васильевны он знал ее последний разговор с матерью и серьезно ей заметил:

— Надя, мать — старинного покроя женщина, и над ней смеяться грешно. Я тебя ни в чем не стесняю и выдавать силой замуж не буду, только мать все-таки дело говорит: прежде отцы да матери устраивали детей, а нынче нужно самим о своей голове заботиться. Я только могу тебе советовать как твой друг. Где у нас женихи-то в Узле? Два инженера повертятся да какой-нибудь иркутский купец, а Привалов совсем другое дело...

— По всей вероятности, папа, я его и полюбила бы, если бы меня не выставляли невестой.

— Ах ты, господи! Да кто же ты, перестарок, что ли, какой?

— Папа, оставим этот разговор, а то опять

рассоримся.

Эти разговоры с дочерью оставляли в душе Василия Назарыча легкую тень неудовольствия, но он старался ее заглушить в себе то шуткой, то усиленными занятиями. Сама Надежда Васильевна очень мало думала о Привалове, потому что ее голова была занята другим. Ей хотелось поскорее уехать в Шатровские заводы, к брату. Там она чувствовала себя как-то необыкновенно легко. Надежде Васильевне особенно хотелось уехать именно теперь, чтобы избавиться от своего неловкого положения невесты.

Глава 14

Сам Привалов не замечал, как летело время. Та работа, о которой он мечтал, как-то не делалась, а все откладывалась день за день. Не отдавая себе отчета в том, что его тянуло в бахаревский дом, Привалов скучал в те свободные промежутки, которые у него оставались между двумя визитами к Бахаревым. В эти минуты одиночества, когда Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу или за вычисления по каким-нибудь планам, он по десяти раз перебирал в своей памяти

все, в чем действующим лицом являлась Надежда Васильевна.

Раз они вдвоем особенно долго гуляли по бахаревскому саду; Марья Степановна обыкновенно сопровождала их в таких случаях или командировала Верочку, но на этот раз к ней кто-то приехал, а Верочки не было дома.

— Отчего вы не хотите ехать к Ляховскому? — откровенно спрашивала Надежда Васильевна, когда они шли по тенистой липовой аллее.

— Мне тяжело ехать, собственно, не к Ляховскому, а в этот старый дом, который построен дедом, Павлом Михайлычем. Вам, конечно, известна история тех безобразий, какие творились в стенах этого дома. Моя мать заплатила своей жизнью за удовольствие жить в нем...

— Но ведь, кроме воспоминаний, есть настоящее, Сергей Александрыч.

— Вы хотите сказать о заводах?

— Да, я довольно часто бываю в Шатровском заводе, у Кости, и мы часто говорили с ним о вас. Ведь с судьбой этих заводов связана участь сорокатысячного населения... Костя

не любит фантазий, но в заводском деле он просто фанатик, и я очень люблю его именно за это. Мне самой тоже нравятся заводы, и знаете, почему? Не потому, что они стоят так дорого, и даже не потому, что с этими именно заводами срослись наши лучшие семейные воспоминания, — нет, я люблю их за тот особенный дух, который вносит эта работа в жизнь. Что-то такое хорошее, новое, сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на заводское производство. Ведь это новая сила в полном смысле слова...

Они сидели в эту минуту на зеленой садовой скамейке. Лицо Надежды Васильевны горело румянцем, глаза светились и казались еще темнее; она сняла соломенную шляпу с головы и нервно скручивала пальцами колокольчики искусственных ландышей, приколотых к отогнутому полю шляпы. Этот разговор сам собой свелся к планам Привалова; он уже открыл рот, чтобы посвятить Надежду Васильевну в свои заветные мечты, но, взглянув на нее, остановился. Ему показалось даже, что девушка немного отодвинулась от него и как-то особенно посмотрела в дальний

конец аллеи, где ярким пятном желтело канареечное платье приближавшейся Верочки.

— Пойдемте; мама ждет нас кофе пить, — проговорила Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи.

Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем Привалову хотелось поделиться именно с Надеждой Васильевной.

На половине Марьи Степановны была устроена моленная. Это была длинная комната совсем без окон; человек, незнакомый с расположением моленной, мог десять раз обойти весь дом и не найти ее. Ход в моленную был проведен из темного чуланчика, который был устроен рядом со спальней Марьи Степановны; задняя стенка этого чулана составляла дверь в моленную и для окончательной иллюзии была завешана какими-то старыми шубами. Привалов, не застав Марью Степановну в гостиной, прошел однажды прямо в моленную. Она была там и сама читала за раздвижным аналоем канон богородице; в уголке ютились какие-то старухи в темных платках, повязанных по-раскольничьи, то есть по спине были распушены два конца,

как это делают татарки. Седой сгорбленный старик в длиннополом кафтане стоял у правой стены и степенно откладывал поклоны, припадая своей головой к потертому шелковому подрушнику. Привалова сразу охватила с детства знакомая атмосфера: пахло росным ладаном, воском и деревянным маслом. Вся передняя стена моленной была занята иконостасом, в котором, под дорогими окладами из серебра и золота, темнели образа самого старинного письма. Тут были собраны иконы работы фряжской, старого строгановского письма и произведения кормовых царских изографов. Все эти богатства достались моленной Марьи Степановны как наследство после смерти матери Привалова из разоренной моленной в приваловском доме. Слабо теплившиеся неугасимые лампады бросали колеблющийся свет кругом, выхватывая из окружающей темноты глубокую резьбу обронных риз, хитрые потемневшие узоры басменного дела, поднизи из жемчуга и цветных камней, золотые подвески и ожерелья. Под некоторыми иконами висели богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем по углам; на

маленьком столике, около самого аналоя, дымилась серебряная кацея.

Голос Марьи Степановны раздавался в моленной с теми особенными интонациями, как читают только раскольники: она читала немного в нос, растягивая слова и произносила «й» как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую женскую фигуру в большом платке, с сложенными по-раскольничьи на груди руками. Это была Надежда Васильевна.

— Ну вот и хорошо, что пришел с нами помолиться, — говорила Марья Степановна, когда выходила из моленной. — Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе их не отдам пока…

— Почему не отдадите, Марья Степановна?

— Да так… Куда ты с ними? Дело твое холостое, дома присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то. А у меня неугасимая горит, кануны старушки говорят.

— Пусть уж лучше стоят у вас, Марья Степановна, — согласился Привалов.

— Как стоят?

— Да так, как стоят теперь. Мне их не нужно.

— Ну, это ты уж напрасно говоришь, — строго проговорила Марья Степановна. — Не подумал... Это твои родовые иконы; деды и прадеды им молились. Очень уж вы нынче умны стали, гордость одолела.

— Мама, ты не поняла Сергея Александрыча, — вступилась Надежда Васильевна.

— Ну, уж извини, голубушка... Что другое действительно не понимаю, — стара стала и глупа, а уж это-то я понимаю.

Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильевне стоило большого труда успокоить ее. Эта неожиданная вспышка в первую минуту смутила Привалова, и он немного растерялся.

— Вы знаете, за что мама сегодня так рассердилась на вас? — спрашивала Надежда Васильевна, когда он уходил домой.

— За недостаток усердия к старой вере?

— Нет... за то, что вы показали себя недостаточно Приваловым. Поняли?

— Не совсем.

Надежда Васильевна ничего не ответила, а

только засмеялась и посмотрела на Привалова вызывающим, говорившим взглядом. Слова девушки долго стояли в ушах Привалова, пока он их обдумывал со всех возможных сторон. Ему особенно приятно было вспомнить ту энергичную защиту, которую он так неожиданно встретил со стороны Надежды Васильевны Она была за него: между ними, незаметно для глаз, вырастало нравственное тяготение.

Глава 15

Однажды, когда Привалов сидел у Бахаревых, зашла речь о старухе Колпаковой, которая жила в своем старом, развалившемся гнезде, недалеко от бахаревского дома.

— Вы не желаете ли проводить меня к Павле Ивановне? — предложила Надежда Васильевна Привалову; она это делала нарочно, чтобы побесить немножко мать.

— Я с удовольствием... — согласился Привалов, удивленный таким предложением; он видел, как Марья Степановна строго подобрала губы оборочкой, хотя и согласилась с своей обычной величественной манерой.

— Верочка с нами пойдет, мама, — прого-

ворила Надежда Васильевна, надевая шляпу.

Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка, — думала Марья Степановна, провожая до террасы счастливое молодое трио. — Вот ужо скажу отцу-то!..» Эти сердитые размышления очень кстати были прерваны звонким поцелуем, который влепила Верочка матери с своей обыкновенной стремительностью. Марья Степановна проводила глазами уходящих дочерей, которые были счастливы молодым счастьем. Особенно хорошо чувствовала себя Верочка. Все, что теперь делала Надя, для нее было недосягаемым идеалом, целой наукой. Ведь у этой Нади все так просто и вместе так хорошо выходит, — и шляпка всегда хорошо сидит, хотя стоит всего пять рублей, и платья какими-то такими складками ложатся... Верочка не замечала, что идеализировала сестру, смотря на нее как на невесту.

— Это пять минут ходьбы отсюда, — говорила Надежда Васильевна, когда они выходили из ворот. — Из ворот сейчас налево, спустимся к реке, а потом повернем за угол, —

тут и колпаковское гнездо.

Дом Колпаковой представлял собой совершенную развалину; он когда-то был выстроен в том помещичьем вкусе, как строили в доброе старое время Александра I. Фасад с колоннами и мезонином, ворота в форме триумфальной арки, великолепный подъезд, широкий двор и десятки ненужных пристроек, в числе которых были и оранжереи специально для ананасов, и конюшни на двадцать лошадей, и целый ряд каких-то корпусов, значение которых теперь трудно было угадать. Колпаков был один из самых богатых золотопромышленников; он любил развернуться во всю ширь русской натуры, но скоро разорился и умер в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Ивановну и дочь Катю. Теперь колпаковское гнездо произвело на Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где могла помещаться Павла Ивановна с дочерью. Когда-то зеленая крыша давно проржавела, во многих местах листы совсем отстали, и из-под них, как ребра, выглядывали деревянные стропила; лепные карнизы и капители коринфских колонн давно обвалились,

штукатурка отстала, резные балясины на балконе давно выпали, как гнилые зубы, стекол в рамах второго этажа и в мезонине не было, и амбразуры окон глядели, как выколотые глаза.

— Где же помещается Павла Ивановна? — спросил Привалов, когда они подошли к покосившейся калитке; самое полотнище калитки своим свободным концом вросло в землю, и поэтому вход во двор был всегда открыт.

— А вот внизу, угловая комнатка...

Они обошли дом кругом, спустились по гнилым ступеням вниз и очутились совсем в темноте, где пахнуло на них гнилью и сыростью Верочка забежала вперед и широко распахнула тяжелую дверь в низкую комнату с запыленными крошечными окошечками.

— Это мы, Павла Ивановна... можно войти? — спрашивала она, останавливаясь в дверях.

— Можно, можно... — ответил какой-то глухой женский голос, и от окна, из глубины клеенчатого кресла, поднялась низенькая старушка в круглых серебряных очках. —

Ведь это ты, Верочка?

Заметив Привалова, старушка торопливо поправила на плечах вылинявшую синелевую шаль и вдруг выпрямилась, точно ее что кольнуло.

— Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна, — заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздоровалась со старушкой. — Сергей Привалов...

— Сережа!.. — вскрикнула Павла Ивановна и всплеснула своими высохшими морщинистыми руками. — Откуда? Какими судьбами?.. А помните, как вы с Костей бегали ко мне, этакими мальчугашками... Что же я... садитесь сюда.

— Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопочите, мы пришли не как гости, а как старые знакомые, — говорила Надежда Васильевна.

— Хорошо, хорошо... — шептала старушка, украдкой осматривая Привалова с ног до головы; ее выцветшие темные глаза смотрели с безобидным, откровенным любопытством, а сухие посинелые губы шептали: — Хорошо... да, хорошо.

«Надя привела жениха показать...» — весело думала старушка, торопливо, как мышь, убегая в темную каморку, где скоро загремела крышка на самоваре.

Привалов только теперь осмотрелся в полутемной комнате, заставленной самой сборной мебелью, какую только можно себе представить. Перед диваном из красного дерева, с выцветшей бархатной обивкой, стояла конторка палисандрового дерева; над диваном висела картина с купающимися нимфами; комод, оклеенный карельской березой, точно навалился на простенок между окнами; разбитое трюмо стояло в углу на простой некрашеной сосновой табуретке; богатый туалет с отломленной ножкой, как преступник, был притянут к стене запыленными шнурками. Старинный шандал красовался на комоде, а из резной рамы туалета выглядывало несколько головок деревянных амуров. Все эти обломки старой роскоши были покрыты слоем пыли, как в лавке старых вещей. Старый китайский кот вылез из-за комода, равнодушно посмотрел на гостей и, точно сконфузившись, убрался в темную каморку, где

Павла Ивановна возилась с своим самоваром.

— Слава богу, слава богу, что вы приехали наконец! — улыбаясь Привалову, говорила Павла Ивановна. — Дом-то валится у вас, нужен хозяйский глаз... Да, я знаю это по себе, голубчик, знаю. У меня все вон развалилось.

«Чему она так радуется?» — думал Привалов и в то же время чувствовал, что любит эту добрую Павлу Ивановну, которую помнил как сквозь сон.

Чай прошел самым веселым образом. Старинные пузатенькие чашки, сахарница в виде барашка с обломленным рогом, высокий надутый чайник саксонского фарфора, граненый низкий стакан с плоским дном — все дышало почтенной древностью и смотрело необыкновенно добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила кота и кончила тем, что подавилась сухарем. Это маленькое происшествие немного встревожило Павлу Ивановну, и она проговорила, покачивая седой головой:

— Вот уж воистину сделали вы мне праздник сегодня... Двадцать лет с плеч долой. Давно ли вот такими маленькими были, а те-

перь... Вот смотрю на вас и думаю: давно ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время-то как катится!

С намерением или без намерения Павла Ивановна увела Верочку в огород, где росла у нее какая-то необыкновенная капуста; Привалов и Надежда Васильевна остались одни Девушка поняла невинный маневр Павлы Ивановны: старушка хотела подарить «жениху и невесте» несколько свободных минут.

— Какая жалкая эта Павла Ивановна, — проговорил Привалов.

— Зачем жалкая? Нет, это кажется только на первый раз... она живет истинным философом. Вы как-нибудь поговорите с ней поподробнее.

— Какого же сорта у нее философия?

— Да как вам сказать... У нее совсем особенный взгляд на жизнь, на счастье. Посмотрите, как она сохранилась для своих лет, а между тем сколько она пережила... И заметьте, она никогда не пользовалась ничьей помощью. Она очень горда, хотя и выглядит такой простой.

— Чем же она существует?

— Плетет кружева, вяжет чулки... А как хорошо она относится к людям! Ведь это целое богатство — сохранить до глубокой старости такое теплое чувство и стать выше обстоятельств. Всякий другой на ее месте давно бы потерял голову, озлобился, начал бы жаловаться на все и на всех. Если бы эту женщину готовили не специально для богатой, праздной жизни, она принесла бы много пользы и себе и другим.

Этот разговор был прерван появлением Павлы Ивановны и Верочки. Чай был кончен, и оставалось только идти домой. Во дворе им встретился высокий сгорбленный старик с желтыми волосами.

— Это сумасшедший... — предупредила Надежда Васильевна Привалова, который подал ей руку.

Старик, прищурившись, посмотрел на молодую компанию и, торопливо шмыгая худыми сапогами, подошел прямо к Привалову.

— Вот здесь все бумаги... — надтреснутым голосом проговорил сумасшедший, подавая Привалову целую пачку каких-то засаленных бумаг, сложенных самым тщательным обра-

зом и даже перевязанных розовой ленточкой.

— Это что у вас за бумаги? — спрашивал Привалов, рассматривая сверток.

— Тут все мое богатство... Все мои права, — с уверенной улыбкой повторил несколько раз старик, дрожавшими руками развязывая розовую ленточку. — У меня все отняли... ограбили... Но права остались, и я получу все обратно... Да. Это верно... Вы только посмотрите на бумаги... ясно, как день Конечно, я очень давно жду, но что же делать.

В развязанной пачке оказался всякий хлам: театральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, объявления разных магазинов, даже пестрые этикетки с ситцев и лекарств. Привалов внимательно рассмотрел эти «права» и, возвращая бумажки старику, проговорил:

— Да, вам еще придется подождать...

— А как вы думаете: получу я по этим документам?

На морщинистом лице старика изображалось такое напряженное внимание, что Привалову сделалось его жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павлу Ивановну.

— Наверно получите, — уверяла Надежда Васильевна сумасшедшего старика. — Вы ведь долго ждали, и теперь уж осталось немного...

— Ах, благодарю вас, благодарю, — прошептал старик и быстро поцеловал у нее руку. — Ваш муж очень умный человек... Да, я буду ждать...

Верочка не могла удержаться от душившего ее смеха и убежала немного вперед.

Глава 16

Известно, что провинциальная жизнь всецело зиждется на визитах. Это своего рода гамма, из которой составляют всевозможные музыкальные комбинации. Первыми приехали к Привалову Виктор Васильич и Nicolas Веревкин. Виктор Васильич явился от имени Василия Назарыча, почему счел своим долгом затянуться в фрачную пару, белый галстук, белые перчатки и шелковый модный цилиндр с короткими полями и совершенно прямой тульей. Nicolas Веревкин, первенец Агриппины Филипьевны и местный адвокат, представлял полную противоположность Виктору Васильичу: высокий, толстый, с мо-

гучей красной шеей и громадной, как пивной котел, головой, украшенной шелковыми русыми кудрями, он, по своей фигуре, как выразился один местный остряк, походил на благочестивого разбойника. Действительно, лицо Веревкина поражало с первого раза: эти вытаращенные серые глаза, которые смотрели, как у амфибии, немигающим застывшим взглядом, эти толстые мясистые губы, выдававшиеся скулы, узкий лоб с густыми, почти сросшимися бровями, наконец, этот совершенно особенный цвет кожи — медно-красный, отливавший жирным блеском, — все достаточно говорило за себя. Прибавьте к этому, что местный адвокат улыбался чрезвычайно редко; но его лицо делалось положительно красивым благодаря неуловимой смеси нахальства, иронии и комизма, которые резко отметили это странное лицо среди тысячи других лиц. В самых глупостях, которые говорил Nicolas Веревкин с совершенно серьезным лицом, было что-то особенное: скажи то же самое другой, — было бы смешно и глупо, а у Nicolas Веревкина все сходило с рук за чистую монету. Он был баловнем в мужском и

женском обществе, как породистое животное, выделявшееся свежим пятном среди остальных заурядных людишек.

— Посмотрите, Сергей Александрыч, какого я вам зверя привез! — громко кричал Виктор Васильич из передней.

— Очень, очень приятно... — говорил Привалов, крепко пожимая громадную лапу старого университетского товарища.

— Полюбите нас черненькими... — отвечал Веревкин приятным грудным баритоном, оглядывая фигуру Привалова.

Виктор Васильич сейчас же сделал самый подробный обзор квартиры Привалова и проговорил, не обращаясь собственно ни к кому:

— Вот так Хина!.. Отлично устроила все, право. А помнишь, Nicolas, как Ломтев в этих комнатах тогда обчистил вместе с Иваном Яковлевичем этих золотопромышленников?.. Ха-ха... В чем мать родила пустили сердечных. Да-с...

— Вы очень кстати приехали к нам в Узел, — говорил Веревкин, тяжело опускаясь в одно из кресел, которое только не застонало под этим восьмипудовым бременем. Он

несколько раз обвел глазами комнату, что-то отыскивая, и потом прибавил: — У меня сегодня ужасная жажда...

— В самом деле, и у меня главизна зело трещит после вчерашнего похмелья, — прибавил с своей стороны Виктор Васильич. — Nicolas, ты очищенную? А мне по части хересов. Да постойте, Привалов, я сам лучше распоряжусь! Ей-богу!

Виктор Васильич мгновенно исчез на половину Хионии Алексеевны и вернулся оттуда в сопровождении Ипата, который был нагружен бутылками и тарелочками с закуской; Хиония Алексеевна давно предупредила Виктора Васильича, и все уже было готово, когда он заявился к ней с требованием водки и хересов.

— Да скажи барыне, — кричал Бахарев вдогонку уходившему лакею, — скажи, что гости останутся обедать... Понимаешь?

— Чревоугодие и натура одолевают, — объявил Веревкин, выпивая рюмку водки с приемами записного пьяницы.

Привалов через несколько минут имел удовольствие узнать последние новости и

был посвящен почти во все городские тайны. Виктор Васильич болтал без умолку, хотя после пятой рюмки хереса язык у него начал заметно прилипать. Он был с Приваловым уже на «ты».

— А я тебя, Привалов, полюбил с первого раза... Ей-богу! — болтал Бахарев, блестя глазами. — Мне черт с ними, с твоими миллионами: не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Ха-ха! Я сам давно бы был миллионером, если бы только захотел. Воображаю, как бы все начали тогда ухаживать за мной... Ха-ха!.. «Виктор Васильич! Виктор Васильич...» Я бы показал им, что плевать на них всех хочу... Да-с. А вот мы тебя познакомим с такими дамочками — пальчики оближешь! Ты кого больше любишь: девиц или дам? Я предпочитаю вдовушек... С девицами только время даром терять... Ах! Да вот у Nicolas есть сестренка Алла, — с секретом барышня. А вот поедешь к Ляховскому, так там тебе покажут такую барышню, что отдай все, да мало, прибавь — недостанет... Это, брат, сама красота, огонь, грация и плутовство.

— Зося действительно пикантная девчон-

ка, — согласился Веревкин, смакуя кусок балыка.

— Она меня однажды чуть не расцеловала, — объявил Бахарев.

— Ну, уж это ты врешь, — заметил Веревкин. — Выгонять — она тебя действительно выгоняла, а чтобы целовать тебя... Это нужно совсем без головы быть!

— Ах! Да ты послушай, как это было... Зося любит все смешное, я однажды и показал ей, как собаки мух ловят. Меня один ташкентский офицер научил... Видел, как собака лежит-лежит на солнышке и задремлет (Бахарев изобразил, как дремлет на солнце собака)... Потом пролетит муха: «жжж...» Собака откроет сначала один глаз, потом другой, прищурится немного и этак, понимаете, вдруг «гхам!..». (Бахарев действительно с замечательным искусством передал эту сцену.) Как я показал Зосе эту штуку, — она меня и давай просить, чтобы я ее тоже научил... Ведь научилась, — лучше меня теперь ловит мух! Ты как-нибудь попроси ее, она покажет... Вот она тогда меня чуть-чуть и не расцеловала.

— Вероятно, приняла за настоящую соба-

ку!

— Эк тебя взяло с твоим остроумием... — ворчал Бахарев. — Э, да чего мне тут с вами киснуть, я к Хине лучше пойду...

Легонько пошатываясь и улыбаясь рассеянной улыбкой захмелевшего человека, Бахарев вышел из комнаты. До ушей Привалова донеслись только последние слова его разговора с самим собой: «А Привалова я полюбил... Ей-богу, полюбил! У него в лице есть такое... Ах, черрт побери!..» Привалов и Веревкин остались одни. Привалов задумчиво курил сигару, Веревкин отпивал из стакана портер большими аппетитными глотками.

— Вы что же, — совсем к нам? — спрашивал Веревкин.

— Да, думаю остаться здесь.

Веревкин что-то промычал и медленно отхлебнул из своего стакана; взглянув в упор на Привалова, он спросил:

— Вы были у Бахарева?

— Да.

— Гм... Видите ли, Сергей Александрыч, я приехал к вам, собственно, по делу, — начал Веревкин, не спуская глаз с Привалова. — Но

прежде позвольте один вопрос... У вас не заходила речь обо мне, то есть старик Бахарев ничего вам не говорил о моей особе?

— Нет, ничего не говорил, — ответил Привалов, не понимая, к чему клонились эти вопросы.

— Гм... — промычал Веревкин и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. — Дело вот в чем, Сергей Александрыч... Я буду говорить с вами как старый университетский товарищ. Гм... Одним словом, вы, вероятно, уже заметили, что я порядочно опустился...

Привалов только съежил плечи при таком откровенном признании и пробормотал что-то отрицательное.

— Нет, зачем же! — так же бесстрастно продолжал Веревкин. — Видна птица по полету... Сильно опустился, — при последних словах Веревкин несколько раз тряхнул своей громадной головой, точно желая от чего-то освободиться. — И другие видят, и сам вижу. Шила в мешке не утаишь. Я адвокатом лет восемь. Годовой бюджет десять — двенадцать тысяч; кругом в долгу... Есть кой-какая репутация по части обделывания делишек. Об

этом еще успеете наслушаться; но я говорю вам все это в тех видах, чтобы не обманывать на свой счет. Немного свихнулся, одним словом... Стороной я слышал о вашем деле по наследству, так вот и приехал предложить свои услуги. С своей стороны могу сказать только то, что я с удовольствием поработал бы именно для такого запутанного дела... Вам ведь необходим поверенный?

— Да... Отчего же, я согласен, — отвечал Привалов, — очень рад.

— Нет, для вас радость не велика, а вот вы сначала посоветуйтесь с Константином Васильичем, — что он скажет вам, а я подожду. Дело очень важное, и вы не знаете меня. А пока я познакомлю вас, с кем нам придется иметь дело... Один из ваших опекунов, именно Половодов, приходится мне beau frere'ом,[19] но это пустяки... Мы подтянем и его. Знаете русскую пословицу: хлебцем вместе, а табачком врозь.

Этот разговор был прерван появлением Бахарева, который был всунут в двери чьими-то невидимыми руками. Бахарев совсем осовелыми глазами посмотрел на Привалова, по-

крутил головой и заплетавшимся языком проговорил:

— Черт возьми... из самых недр пансиона вынырнул... то есть был извлечен оттуда... А там славная штучка у Хины запрятана... Глаза — масло с икрой... а кулаки у этого неземного создания!.. Я только хотел заняться географией, а она меня как хватит кулаком...

Привалов и Веревкин засмеялись, а Бахарев, пошатываясь и крутя головой, доплелся до оттомана, на котором и растянулся. Сделав героическое усилие удержаться на локтях, он проговорил:

— Послу-ушай, Привалов... я тебя люблю... а ты не знаешь ничего... не-ет...

— Сергей Александрыч знает только то, что тебе нужно хорошенько выспаться, — заметил Веревкин.

— Не-ет... Вы думаете, что я дурак... пьян... Послушай, Привалов, я... тебе вот что скажу...

Бахарев сел и рассеянно посмотрел кругом.

— Мама тебя очень... любит, — продолжал он, раскачивая ногами. — Ведь мама отличная старуха... дда-а... У нее в мизинце больше ума, чем у Веревкина... в голове!.. Да-а... Хе-е...

А только мама теперь боится, знаешь чего... Гм... дда... Она боится, что ты женишься на Зосе... Ей-богу!.. А Надя отличная девушка... Ей-богу... Она мне сестра, а я всегда скажу: отличная, умная... Если бы Надя не была мне сестра... ни за какие бы коврижки не уступил тебе... Как ушей своих не увидал бы... дда... Ты непременно женись на ней... слышишь? После спасибо скажешь... А мама боится Зоси, чтобы не отбила жениха... Ха-ха!.. Зося меня чуть не расцеловала, когда я ее научил мух ловить.

— Ну, довольно, спи, — говорил Веревкин, укладывая заболтавшегося молодого человека.

Привалов вдруг покраснел. Слова пьяного Бахарева самым неприятным образом подействовали на него, — не потому, что выставляли в известном свете Марью Степановну, а потому, что имя дорогой ему девушки повторялось именно при Веревкине. Тот мог подумать черт знает что...

— Виктор отличный парень, только уж как попало ему в голову — и понес всякую чепуху, — говорил Веревкин, делая вид, что не за-

мечает смущения Привалова. — Врет, как пьяная баба... Самая гнилая натуришка!.. Впрочем, Виктор говорит только то, что теперь говорит целый город, — прибавил Веревкин. — Как тертый калач могу вам дать один золотой совет: никогда не обращайте внимания на то, что говорят здесь про людей за спиной. Это язва провинции, особенно нашей. Оно и понятно: мы, мужчины, можем хоть в карты резаться, а дамам что остается? Впрочем, я это только к слову... дамы не по моей части.

Бахарев громко храпел, раскинувшись на оттомане. У Привалова немного отлегло на сердце, и он с благодарностью посмотрел на своего собеседника, проговорив:

— Что касается меня, то мне решительно все равно, что ни болтали бы, но ведь здесь является имя девушки; наконец, сама Марья Степановна может показаться в таком свете...

— Э, батенька, плюньте... Мы вот лучше о деле побалагурим. Виктор, спишь? Спит...

В нескольких словах Веревкин дал заметить Привалову, что знает дело о наследстве в мельчайших подробностях, и намекнул

между прочим на то, что исчезновение Тита Привалова тесно связано с какой-то очень смелой идеей, которую хотят провести опекуны.

— Именно? — спросил Привалов.

— Собственно, определенных данных я в руках не имею, — отвечал уклончиво Веревкин, — но у меня есть некоторая нить... Видите ли, настоящая каша заваривается еще только теперь, а все, что было раньше, — только цветочки.

— Помилуйте, Николай Иваныч, что же еще-то может быть?

— Об этом мы еще поговорим после, Сергей Александрыч, а теперь я должен вас оставить... У меня дело в суде, — проговорил Веревкин, вынимая золотые часы. — Через час я должен сказать речь в защиту одного субъекта, который убил троих. Извините, как-нибудь в другой раз... Да вот что: как-нибудь на днях загляните в мою конуру, там и покалякаем. Эй, Виктор, вставай, братику!

— Оставьте его, пусть спит, — говорил Привалов. — Он мне не мешает.

— А вы с ним не церемоньтесь... Так я буду

ждать вас, Сергей Александрыч, попросту, без чинов. О моем предложении подумайте, а потом поговорим всерьез.

Предложение Веревкина и слова пьяного Виктора Васильича заставили Привалова задуматься. Что такое мог подозревать этот Веревкин в деле о наследстве? Но ведь даром он не стал бы болтать. Подозревать, что своим намеком Веревкин хотел прибавить себе весу, — этого Привалов не мог по многим причинам: раз — он хорошо относился к Веревкину по университетским воспоминаниям, затем Веревкин был настолько умен, что не допустит такого грубого подходца; наконец, из слов Веревкина, которыми он рекомендовал себя, можно вывести только то, что он сразу хотел поставить себя начистоту, без всяких недомолвок. Только одно в разговоре с Веревкиным не понравилось Привалову, именно то, что Веревкин вскользь как будто желал намекнуть на зависимость Привалова от Константина Васильича.

«Что он этим хотел сказать? — думал Привалов, шагая по своему кабинету и искоса поглядывая на храпевшего Виктора Васильи-

ча. — Константин Васильич может иметь свое мнение, как я свое... Нет, я уж, кажется, немного того...»

В глубине души Привалова оставалась еще капелька горечи, вызванная словами Виктора Васильича. Ведь он выдал себя с головой Веревкину, хотя тот и делал вид, что ничего не замечает «И черт же его потянул за язык...» — думал Привалов, сердито поглядывая в сторону храпевшего гостя Виктор Васильич спал в самой непринужденной позе: лежа на спине, он широко раскинул руки и свесил одну ногу на пол; его молодое лицо дышало завидным здоровьем, и по лицу блуждала счастливая улыбка. Ведь в этом лице было что-то общее с выражением лица Надежды Васильевны. Привалов остановился над спавшим гостем. Такой же белый, немного выпуклый лоб, те же брови, тот же разрез глаз и такие же темные длинные ресницы... Но там все это было проникнуто таким чудным выражением женской мягкости, все линии дышали такой чистотой, — казалось, вся душа выливалась в этом прямом взгляде темно-серых глаз. Зачем же имя этой девушки было произнесено этим

Виктором Васильичем с такими безжалостными пояснениями и собственными комментариями? Надежда Васильевна с первого раза произвела сильное впечатление на Привалова, как мы уже видели Если бы он стал подробнее анализировать свое чувство, он легко мог прийти к тому выводу, что впечатление носило довольно сложное происхождение: он смотрел на девушку глазами своего детства, за ее именем стояло обаяние происхождения... Ведь она была дочь Василия Назарыча; ведь в ней говорила кровь Марьи Степановны; ведь... Привалов не мог в своем воображении отделить девушку от той обстановки, в какой он ее видел. Этот старинный дом, эти уютные комнаты, эта старинная мебель, цветы, лица прислуги, самый воздух — все это было слишком дорого для него, и именно в этой раме Надежда Васильевна являлась не просто как всякая другая девушка, а последним словом слишком длинной и слишком красноречивой истории, в которую было вплетено столько событий и столько дорогих имен.

Вместе с тем Привалов как-то избегал мыс-

ли, что Надежда Васильевна могла быть его женой. Нет, зачем же так скоро... Жена — совсем другое дело; он хотел ее видеть такою, какою она была. Жена — слишком грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в Надежде Васильевне Он поклонялся в ней тому, что было самого лучшего в женщине. Если бы она была женой другого, он так же относился бы к ней, как относился теперь. Странное дело, это девичье имя осветило каким-то совершенно новым светом все его заветные мечты и самые дорогие планы. Раньше все это было сухой мозговой выкладкой, а теперь... Нет, одно существование на свете Надежды Васильевны придало всем его планам совершенно особенный смысл и ту именно теплоту, какой им недоставало. Обдумывая их здесь, в Узле, он находил в них много нового, чего раньше не замечал совсем. Раньше он иногда сомневался в их осуществимости, иногда какое-то нехорошее чувство закрадывалось в душу, но теперь ему стоило только вызвать в своем воображении дорогие черты, и все делалось необыкновенно ясно, всякие сомнения падали сами собой. Каждый

раз он испытывал то счастливое настроение, когда человеком овладевает какой-то прилив сил.

Глава 17

— Барин-то едет! — сиплым шепотом докладывала Матрешка Хионии Алексеевне. — Своими глазами, барыня, видела... Сейчас пальто в передней надевает...

Заплатина прильнула к окну; у ней даже сердце усиленно забилось в высохшей груди: куда поедет Привалов? Если направо, по Нагорной — значит, к Ляховскому, если прямо, по Успенскому бульвару — к Половодову. Вон Ипат и извозчика свистнул, вон и Привалов вышел, что-то подумал про себя, посмотрел направо и сказал извозчику:

— В Нагорную... налево.

От последнего слова в груди Хионии Алексеевны точно что оборвалось. Она даже задрожала. Теперь все пропало, все кончено; Привалов поехал делать предложение Nadine Бахаревой. Вот тебе и жених...

Привалов, пока Заплатина успела немного прийти в себя, уже проходил на половину Марьи Степановны. По дороге мелькнуло улыб-

нувшееся лицо Даши, а затем показалась Верочка. Она была в простеньком ситцевом платье и сильно смутилась.

— Марью Степановну можно видеть? — спросил Привалов, раскланиваясь с ней.

— Она в моленной...

«Какая славная эта Верочка...» — подумал Привалов, любуясь ее смущением; он даже пожалел, что как-то совсем не обращал внимания на Верочку все время и хотел теперь вознаградить свое невнимание к ней.

— Я сейчас отправлюсь к Ляховскому и заехал поговорить с Марьей Степановной... — объяснил он.

Верочка вся вспыхнула, взглянула на Привалова как-то исподлобья, совсем по-детски, и тихо ответила:

— Надя часто бывала раньше у Ляховских...

— А вы?

— Мне мама не позволяет ездить к ним; у Ляховских всегда собирается большое общество; много мужчин... Да вон и мама.

— Наконец-то ты собрался, — весело проговорила Марья Степановна, появляясь в две-

рях. — Вижу, вижу; ну, что же, бог тебя благословит...

— Нарочно заехал к вам, Марья Степановна, чтобы набраться смелости.

— А ты к Василию Назарычу заходил? Зайди, а то еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что тебя давно не видно... Никак с неделю уж не был.

— Боюсь надоесть.

— Ну, ну, не говори пустого. Все неможется Василию Назарычу, привязала его эта нога.

Они поговорили еще с четверть часа, но Привалов не уходил, поджидая, не послышится ли в соседней комнате знакомый шорох женского платья. Он даже оглянулся раза два, что не ускользнуло от внимания Марьи Степановны, хотя она и сделала вид, что ничего не замечает. Привалова просто мучило желание непременно увидеть Надежду Васильевну. Раза два как-то случилось, что она не выходила к нему, но сегодня он испытывал какое-то ноющее, тоскливое чувство ожидания; ему было неприятно, что она не хочет показаться. После пьяной болтовни Виктора Васильича в душе Привалова выросла какая-то

щемящая потребность видеть ее, слышать звук ее голоса, чувствовать ее присутствие. Он нарочно откладывал свой визит к Бахаревым день за день, и вот награда... Марья Степановна точно не желала замечать настроения своего гостя и говорила о самых невинных пустяках, не обращая внимания на то, что Привалов отвечал ей совсем невпопад. Верочка раза два входила в комнату, поглядывая искоса на гостя, и делала такую мину, точно удивлялась, что он продолжает еще сидеть.

— А ведь Надя-то уехала, — проговорила Марья Степановна, когда Привалов начал прощаться.

— На заводы уехала, к Косте, — прибавила она, когда Привалов каким-то глупым, остановившимся взглядом посмотрел на нее. — Доктора Сараева знаешь?

— Да, помню немного...

— Ну, вот с ним и уехала.

«Уехала, уехала, уехала...» — как молотками застучало в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился с Марьей Степановной, и точно в каком тумане прошел в перед-

нюю, только здесь он вспомнил, что нужно еще зайти к Василию Назарычу.

Бахарев сегодня был в самом хорошем расположении духа и встретил Привалова с веселым лицом. Даже болезнь, которая привязала его на целый месяц в кабинете, казалась ему забавной, и он называл ее собачьей старостью. Привалов вздохнул свободнее, и у него тоже гора свалилась с плеч. Недавнее тяжелое чувство разлетелось дымом, и он весело смеялся вместе с Василием Назарычем, который рассказал несколько смешных историй из своей тревожной, полной приключений жизни.

— А что, Сергей Александрыч, — проговорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу, — вот ты теперь третью неделю живешь в Узле, поосмотрелся? Интересно знать, что ты надумал... а? Ведь твое дело молодое, не то что наше, стариковское: на все четыре стороны скатертью дорога. Ведь не сидеть же такому молодцу сложа руки...

Привалов не ожидал такого вопроса и замялся, но Бахарев продолжал:

— Знаю, вперед знаю ответ: «Нужно поду-

мать... не осмотрелся хорошенько...» Так ведь? Этакие нынче осторожные люди пошли; не то что мы: либо сена клок, либо вилы в бок! Да ведь ничего, живы и с голоду не умерли. Так-то, Сергей Александрыч... А я вот что скажу: прожил ты в Узле три недели и еще проживешь десять лет — нового ничего не увидишь Одна канитель: день да ночь — и сутки прочь, а вновь ничего. Ведь ты совсем в Узле останешься?

— Да.

— И отлично; значит, к заводскому делу хочешь приучать себя? Что же, хозяйский глаз да в таком деле — первее всего.

— Нет... Ведь заводы, Василий Назарыч, еще неизвестно кому достанутся. Об этом говорить рано...

— Конечно, конечно... В копнах не сено, в долгах не деньги. Но мне все-таки хочется знать твое мнение о заводах, Сергей Александрыч.

— Вы хотите этого непременно? — спросил Привалов, глядя в глаза старику.

— Да, непременно...

После короткой паузы Привалов очень по-

дробно объяснил Бахареву, что он не любит заводского дела и считает его искусственно созданной отраслью промышленности. Но отказаться от заводов он не желает и не может — раз, потому, что это родовое имущество, и, во-вторых, что с судьбой заводов связаны судьбы сорокатысячного населения и будущность трехсот тысяч десятин земли на Урале. В заключение Привалов заметил, что ни в каком случае не рассчитывает на доходы с заводов, а будет из этих доходов уплачивать долг и понемногу, постепенно поднимать производительность заводов Бахарев слушал это откровенное признание, склонив немного голову набок. Когда Привалов кончил, он безмолвно притянул его к себе, обнял и поцеловал. На глазах старика стояли слезы, по он не отирал их и, глубоко вздохнув, проговорил прерывавшимся от волнения голосом:

— Спасибо, Сережа... Умру спокойно теперь... да, голубчик. Утешил ты меня... Спасибо, спасибо...

— Я делаю только то, что должен, — заметил Привалов, растроганный этой сценой. — В качестве наследника я обязан не только вы-

платить лежащий на заводах государственный долг, но еще гораздо больший долг...

— Еще какой долг?

— А как же, Василий Назарыч... Ведь заводы устроены чьим трудом, по-вашему?

— Как чьим? Заводы устраивал твой пращур, Тит Привалов, — его труд был, потом Гуляев устраивал их, — значит, гуляевский труд.

— Да, это верно, но владельцы сторицей получили за свои хлопоты а вы забываете башкир, на земле которых построены заводы. Забываете приписных к заводам крестьян.

— Да ведь башкиры продали землю...

— За два с полтиной на ассигнации и за три фунта кирпичного чаю.

— А хоть бы и так... Это их дело и нас не касается.

— Нет, очень касается, Василий Назарыч. Как назвать такую покупку, если бы она была сделана нынче! Я не хочу этим набрасывать тень на Тита Привалова, но...

— Что же, ты, значит, хочешь возвратить землю башкирам? Да ведь они ее все равно продали бы другому, если бы пращур-то не

взял... Ты об этом подумал? А теперь только отдай им землю, так завтра же ее не будет... Нет, Сергей Александрыч, ты этого никогда не сделаешь...

— Я и не думаю отдавать землю башкирам, Василий Назарыч; пусть пока она числится за мной, а с башкирами можно рассчитаться и другим путем...

— Не понимаю что-то...

— Если бы я отдал землю башкирам, тогда чем бы заплатил мастеровым, которые работали на заводах полтораста лет?.. Земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я должен отлично поставить заводы и тогда постепенно расплачиваться с своими историческими кредиторами. В какой форме устроится все это — я еще теперь не могу вам сказать, но только скажу одно, — именно, что ни одной копейки не возьму лично себе...

— Ах, Сережа, Сережа... — шептал Бахарев, качая головой. — Добрая у тебя душа-то... золотая... Хорошая ведь в тебе кровь-то. Это она сказывается. Только... мудреное ты дело затеваешь, небывалое... Вот я — скоро и помирать

пора, а не пойму хорошенько...

— Мы еще поговорим об этом, Василий Назарыч.

— Да, да, поговорим... А ежели ты действительно так хочешь сделать, как говоришь, много греха снимешь с отцов-то. Значит, заводы пойдут сами собой, а сам-то ты что для себя будешь делать? Эх, Сергей Александрыч, Сергей Александрыч. Гляжу я на тебя и думаю: здоров, молод, — скатертью дорога на все четыре стороны... Да. Не то что наше, стариковское, дело: только еще хочешь повернуться, а смерть за плечами. Живи не живи, а помирать приходится... Эх, я бы на твоем месте махнул по отцовской дорожке!.. Закатился бы на Саян... Ведь нынче свобода на приисках, а я бы тебе указал целый десяток золотых местечек. Стал бы поминать старика добром... Костя не захотел меня слушать, так доставайся хоть тебе!

Привалов улыбнулся.

— Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрыч. Чего киснуть в Узле-то? По рукам, что ли? Костя на заводах будет управляться, а мы с тобой на прииски; вот только моя нога

немного поправится...

— Нет, Василий Назарыч, я никогда не буду золотопромышленником, — твердым голосом проговорил Привалов. — Извините меня, я не хотел вас обидеть этим, Василий Назарыч, но если я по обязанности должен удержать за собой заводы, то относительно приисков у меня такой обязанности нет.

Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей улыбкой.

— Что же ты думаешь делать здесь? — спросил Василий Назарыч упавшим сухим голосом.

— Я думаю заняться хлебной торговлей, Василий Назарыч.

Старик тяжело повернулся в своем кресле и каким-то испуганным взглядом посмотрел на своего собеседника.

— Я, кажется, ослышался... — пробормотал он, вопросительно и со страхом заглядывая Привалову в лицо.

— Нет, вы не ослышались, Василий Назарыч. Я серьезно думаю заняться хлебной торговлей...

— Ты... будешь торговать... мукой?

— Между прочим, вероятно, буду торговать и мукой, — с улыбкой отвечал Привалов, чувствуя, что пол точно уходит у него из-под ног. — Мне хотелось бы объяснить вам, почему я именно думаю заняться этим, а не чем-нибудь другим.

Бахарев потер опять свой лоб и торопливо проговорил:

— Нет... не нужно!.. Я понимаю все, если способен только понимать что-нибудь...

Откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками, старик в каком-то забытьи повторял:

— Торговать мукой... Му-кой!.. Привалов будет торговать мукой... Василий Бахарев купит у Сергея Привалова мешок муки...

Часть II

Глава 18

Неопределенное положение дел оставляло в руках Хионии Алексеевны слишком много свободного времени, которое теперь все целиком и посвящалось Агриппине Филипьевне, этому неизменному старому другу. В роскошном будуаре Веревкиной, а чаше в ее не менее роскошной спальне теперь происходили самые оживленные разговоры, делались удивительно смелые предположения и выстраивались поистине грандиозные планы. Эти две дамы теперь находились в положении тех опытных полководцев, которые накануне битвы делают ряд самых секретных совещаний. Они спорили, горячились, даже выходили из себя, но всегда мирились на одной мысли, что все мужчины положительнейшие дураки, которые, как все неизлечимо поврежденные, были глубоко убеждены в своем уме.

— Ах, если бы вы только видели, Агриппина Филипьевна! — закатывая глаза, шептала Хиония Алексеевна. — Ведь всему же на свете

бывают границы... Мне просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых! Эта Nadine с первого раза вешается на шею Привалову... А старики? Вы бы только посмотрели, как они ухаживают за Приваловым... Куда вся гордость девалась! Василий Назарыч готов для женишка в мелочную лавочку за папиросами бегать. Ей-богу!.. А какие мне Марья Степановна грязные предложения делала... Да разве я соглашусь присматривать да подслушивать за жильцом?!

— Однако вы не ошиблись, кажется, что взяли его на квартиру, — многозначительно говорила Агриппина Филипьевна.

— Не ошиблась?! А вы спросите меня, Агриппина Филипьевна, чего это стоит! Да... Я сначала долго отказывалась, но эта Марья Степановна так пристала ко мне, так пристала, понимаете, с ножом к горлу: «Пожалуйста, Хиония Алексеевна! Душечка, Хиония Алексеевна... Мы будем уж спокойны, если Привалов будет жить у вас». Ведь знаете мой проклятый характер: никак не могла отказать. Теперь и надела себе петлю на шею... Расходы, хлопоты, беспокойство, а там еще что бу-

дет?..

— Так вы говорите, что Привалов не будет пользоваться вниманием женщин? — задумчиво спрашивала Агриппина Филипьевна уже во второй раз.

— Решительно не будет, потому что в нем этого... как вам сказать... между нами говоря... нет именно той смелости, которая нравится женщинам. Ведь в известных отношениях все зависит от уменья схватить удобный момент, воспользоваться минутой, а у Привалова... Я сомневаюсь, чтобы он имел успех...

— У Привалова есть миллионы, — продолжала Агриппина Филипьевна мысль приятельницы.

— Только и есть что одни миллионы...

— Кажется, достаточно.

— Да... Но ведь миллионами не заставишь женщину любить себя... Порыв, страсть — да разве это покупается на деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Ляховские будут ухаживать за Приваловым: и Nadine и Sophie, но... Я, право, не знаю, что находят мужчины в этой вертлявой Зосе?.. Ну, скажите мне, ради бога, что в ней такого: маленькая, сухая, вертлявая, бело-

брысая... Удивляюсь!

Агриппина Филипьевна была несколько другого мнения относительно Зоси Ляховской, хотя и находила ее слишком эксцентричной. Известная степень оригинальности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой в глазах мужчин, хотя это слишком скользкий путь, на котором нетрудно дойти до смешного.

Несмотря на свои сорок восемь лет, Агриппина Филипьевна была еще очень моложава, прилично полна и обладала самыми аристократическими манерами. В ее наружности было что-то очень внушительное, особенно когда она улыбалась своей покровительственной улыбкой. Светло-русые волосы, неопределенного цвета глаза и свежие полные губы делали ее еще настолько красивой, что никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать целой дюжины детей. Еще меньше можно было, глядя на эту цветущую мать семейства, заключить о тех превратностях, какими была преисполнена вся ее тревожная жизнь.

Когда-то очень давно Агриппина Фили-

пьевна и Хиония Алексеевна воспитывались в одном московском пансионе, где требовался, во-первых, французский язык, во-вторых, французский язык и, в-третьих, французский язык. Из обруселых рижских немок по происхождению, Агриппина Филипьевна обладала счастливым ровным характером: кажется, это было единственное наследство, полученное ею под родительской кровлей, где оставались еще шесть сестриц и один братец. В пансионе Агриппина Филипьевна и Хиония Алексеевна, выражаясь на пансионском жаргоне, обожали одна другую. Мы уже знаем историю Хионии Алексеевны. Агриппина Филипьевна прямо из пансионского дортуара вышла замуж за Ивана Яковлича Веревкина, который, благодаря отчасти своему дворянскому происхождению, отчасти протекции, подходил под рубрику молодых людей, «подающих блестящие надежды». Но Иван Яковлич так и остался при блестящих надеждах, не сделав никакой карьеры, хотя менял род службы раз десять, Агриппина Филипьевна дарила мужа исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. Таким образом получилась в ре-

зультате прескверная история: семья росла и увеличивалась, а одними надеждами Ивана Яковлича и французским языком Агриппины Филипьевны не проживешь. Один счастливый случай выручил не только Агриппину, но и весь букет рижских сестриц. Дело в том, что одной из этих сестриц выпало редкое счастье сделаться женой одной дряхлой, но очень важной особы. Как только совершилось это знаменательное событие, то есть как только Гертруда Шпигель сделалась madame Коробьин-Унковской, тотчас же все рижские сестрицы с необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были выданы замуж за разную чиновную мелюзгу. Как раз в это время в Узле открывалось отделение государственного банка, и мужья двух сестриц сразу получили места директоров. Эти сестрицы выписали из Риги остальных четырех, из которых одна вышла за директора гимназии, другая за доктора, третья за механика, а четвертая, не пожелавшая за преклонными летами связывать себя узами Гименея, получила место начальницы узловской женской гимназии. Одним словом, в самом непродолжительном време-

ни сестрицы Шпигель завоевали целый город и начали усиленно плодиться.

Иван Яковлич тоже попал на какое-то место в банк, без определенного названия, зато с солидным окладом. Но и родство с важной особой не помогло осуществлению подаваемых им блестящих надежд. Попав в Узел, он бросил скоро всякую службу и бойко пошел по широкой дорожке карточного игрока. Этот почтенный отец семейства совсем не вмешивался в свои фамильные дела, великодушно предоставив их собственному течению. Дома он почти не жил, потому что вел самую цыганскую жизнь, посещая ярмарки, клубы, игорные притоны и тому подобные злачные места. Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в случае крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван Яковлич на короткое время являлся у своего семейного очага и довольно терпеливо разыгрывал скромного семьянина и почтенного отца семейства. Он в этил случаях был необыкновенно внимателен к жене, ласкал детей и, улучив удобную минуту, опять исчезал в свою родную стихию. Спрашивается, откуда получались те

десять тысяч, которые тратила Агриппина Филипьевна ежегодно? Это был настолько щекотливый и тонкий вопрос, что его обыкновенно обходили молчанием или говорили просто, что Агриппина Филипьевна «живет долгами», то есть что она была так много должна, что кредиторы, под опасением не получить ничего, поддерживали ее существование. Но и этот, несомненно, очень ловкий modus vivendi,[20] мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы Агриппина Филипьевна, с одной стороны, не выдала своей старшей дочери за директора узловско-моховского банка Половодова, а с другой — если бы ее первенец как раз к этому времени не сделался одним из лучших адвокатов в Узле. Эти два обстоятельства значительно повысили фонды Агриппины Филипьевны, и она могла со спокойной совестью устраивать по четвергам свои элегантные soirees[21] на которых безусловно господствовал французский язык, обсуждалась каждая выдающаяся новость и испытывали свои силы всякие заезжие артисты и артистки.

Итак, несмотря на то, что жизнь Агриппи-

ны Филипьевны была открыта всем четырем ветрам, бурям и непогодам, она произвела на свет целую дюжину маленьких ртов. Эта живая лестница, начинавшаяся с известного уже нам Nicolas, постепенно переходила через разных Andre, Woldemar, Nini и Bebe, пока не обрывалась шестимесячным Вадимом. Дети помещались в каком-то коридоре, перегороженном тонкими ширмочками на несколько отдельных помещений. Эта дворянская поросль имела решительный перевес в мужской линии Два старших мальчика учились в классической гимназии, один — в военной, один в реальном училище и т. д. В недалеком будущем муравейник Агриппины Филипьевны грозил осчастливить благодарное отечество неутомимыми деятелями на самых разнообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь Агриппины Филипьевны была замужем за Половодовым; следующая за нею по летам, Алла, вступила уже в тот цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться в недрах муравейника, и она была переведена в спальню maman, где и жила на правах совсем взрослой барышни. Понятно, что Алла

не могла относиться к обитателям муравейника иначе, как только с глубоким презрением. Когда ей случалось проходить по территории муравейника, она целомудренно подбирала свои безукоризненно накрахмаленные юбки и даже зажимала нос.

Nicolas Веревкин получил первые впечатления своего бытия тоже не в завидной обстановке. Но это не помешало ему быть некоторым исключением, даже домашним божком, потому что Агриппина Филипьевна чувствовала непреодолимую слабость к своему первенцу и создала около него что-то вроде культа. Все, что ни делал Nicolas, было верхом совершенства; самая возможность критики отрицалась. Когда Nicolas выбросили из гимназии за крупный скандал, Агриппина Филипьевна и тогда не сказала ему в упрек ни одного слова, а собрала последние крохи и на них отправила своего любимца в Петербург. Nicolas вполне оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро освоился в столице, сдал экзамены за гимназию и взял в университете кандидата прав. Воспоминанием об этом счастливом времени служили Агриппи-

не Филипьевне письма Nicolas, не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остроумные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины Филипьевны хранилось вырезанное из газет объявление, в котором студент, «не стесняющийся расстоянием», предлагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти beaux mots[22] несравненного Nicolas заставляли смеяться счастливую мамашу до слез. Нестеснение расстоянием проходило красной нитью через всю жизнь Nicolas, особенно через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филипьевна никогда и ничего не требовала от своего божка, кроме того, чтобы этот божок непременно жил под одной с ней кровлей, под ее крылышком.

После Nicolas самой близкой к сердцу Агриппины Филипьевны была, конечно, Алла. Она не была красавицей; лицо у ней было совсем неправильно; но в этой еще формировавшейся, с детскими угловатыми движениями девушке Агриппина Филипьевна чувствовала что-то обещающее и очень оригинальное. Алла уже выработала в себе тот светский такт, который начинается с уменья вовремя

выйти из комнаты и заканчивается такими сложными комбинациями, которых не распутать никакому мудрецу. Хиония Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упускала случая проговорить:

Elle est tellement innocente
Qu'elle ne connait presque rien.[23]

— Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец? — несколько раз спрашивала Хиония Алексеевна.

— Оскар? О, это безнадежно глупый человек и больше ничего, — отвечала Агриппина Филипьевна. — Представьте себе только: человек из Петербурга тащится на Урал, и зачем?.. Как бы вы думали? Приехал удить рыбу. Ну, скажите ради бога, это ли не идиотство?

— Гм... да... Но ведь у Оскара Филипыча, кажется, очень хорошее место в Петербурге?

— Да, благодаря сестре Гертруде получает ни за что тысяч пять, — что же делать? Идиот!.. Наберет с собой моих мальчишек и целые дни удит с ними рыбу.

— Скажите, какой странный характер...

— Да просто глупость, Хиония Алексеевна...

— Мне кажется странным, что появление Оскара Филипыча совпало с приездом Привалова...

— Ах, вы, Хиония Алексеевна, кажется, совсем помешались на своем Привалове... Помилуйте, какое может быть отношение, когда брат просто глуп? Самая обыкновенная история...

Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным рассуждением о «гордеце».

— Конечно, он вам зять, — говорила Хиония Алексеевна, откидывая голову назад, — но я всегда скажу про него: Александр Павлыч — гордец... Да, да. Лучше не защищайте его, Агриппина Филипьевна. Я знаю, что он и к вам относится немного критически... Да-с. Что он директор банка и приваловский опекун, так и, господи боже, рукой не достанешь! Ведь не всем же быть директорами и опекунами, Агриппина Филипьевна?

Теперь к этому рассуждению о гордеце пристегивалось такое заключение:

— Хотя Александр Павлыч и зять вам,

Агриппина Филипьевна, но я очень рада, что Привалов поубавит ему спеси... Да-с, очень рада. Вы, пожалуйста, не защищайте своего зятька, Агриппина Филипьевна.

— Я и не думаю, Хиония Алексеевна.

— Вот еще Ляховский... Разжился фальшивыми ассигнациями да краденым золотом, и черту не брат! Нет, вот теперь до всех вас доберется Привалов... Да. Он даром что таким выглядит тихоньким и, конечно, не будет иметь успеха у женщин, но Александра Павлыча с Ляховским подтянет. Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это дельце?

Агриппина Филипьевна ничего не находила сказать на этот слишком смелый вопрос, а Хиония Алексеевна отвечала сама:

— Конечно, Ляховский!.. Это ясно, как день. Он на все способен.

— Я не понимаю, какая цель могла быть в таком случае у Ляховского? Nicolas говорил, что в интересе опекунов иметь Тита Привалова налицо, иначе последует раздел наслед-

ства, и конец опеке.

— Пустяки, пустяки... Я знаю, что это дело Ляховского, а ваш Nicolas обманывает. Ведь я знаю, mon ange, зачем Nicolas приезжал тогда к Привалову...

— Вы знаете, Хиония Алексеевна, что я никогда не вмешиваюсь в дела Nicolas, — это мой принцип.

— А я все-таки знаю и желаю, чтобы Nicolas хорошенько подобрал к рукам и Привалова и опекунов... Да. Пусть Бахаревы останутся с носом и любуются на свою Nadine, а мы женим Привалова на Алле... Вот увидите. Это только нужно повести дело умненько: tete-a-tete,[24] маленький пикник, что-нибудь вроде нервного припадка... Ведь эти мужчины все дураки: увидали женщину, — и сейчас глаза за корсет. Вот мы...

— Нет, Хиония Алексеевна, позвольте вам заметить, — возражала с достоинством Агриппина Филипьевна, — вы так говорите о моей Алле, будто она какая-нибудь Христова невеста.

— Ах, я пошутила, Агриппина Филипьевна. Но за всем тем я мое дело знаю...

Глава 19

Привалов приехал к Веревкину утром. У чистенького подъезда он встретил толпу оборванных мужиков, которые сняли шапки и почтительно дали ему дорогу. Они все время оставались без шапок, пока Привалов дожидался лакея, отворившего парадную дверь.

— А нам бы Миколая Иваныча... — вытягивая вперед шею и неловко дергая плечами, заговорил кривой мужик, когда в дверях показался лакей с большой лысиной на макушке.

— Они дома-с... — почтительно докладывал он, пропуская Привалова на лестницу с бархатным ковром и экзотическими растениями по сторонам. Пропустив гостя, он захлопнул дверь под носом у мужиков. — Прут, сиволапые, прямо в двери, — ворчал он, забегая немного вперед Привалова.

Пока лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины Филипьевны. От нечего делать он рассматривал красивую ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпировки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дивана, концертную рояль у стены,

картины, — все было необыкновенно изящно и подобрано с большим вкусом; каждая вещь была поставлена так, что рекомендовала сама себя с самой лучшей стороны и еще служила в то же время необходимым фоном, объяснением и дополнением других вещей. Самый опытный взгляд, вероятно, не открыл бы рокового un question d'argent,[25] который лежал в основании всей этой художественной обстановки. Жалкая ложь была самым искусным образом прикрыта богатой мебелью и мягкими коврами, служившими продолжением любезных улыбок и аристократических манер самой хозяйки.

— Милости просим, пожалуйте... — донесся откуда-то из глубины голос Веревкина, а скоро показалась и его на диво сколоченная фигура, облаченная теперь в какой-то полосатый татарский халат. — Уж вы извините меня, батенька, — комично оправдывался Веревкин, подхватывая Привалова под руку. — Вы застали меня, можно сказать, на самом месте преступления... Дельце одно нужно было кончить, так в халате-то оно свободнее. Как надену проклятый сюртук, — мыслей в

голове нет. Я сейчас, Сергей Александрыч... Обождите единую минуточку.

Веревкин поспешно скрылся за низенькой японской ширмочкой, откуда через минуту до Привалова донеслось сначала тяжелое сопенье носом, а потом какое-то забавное фырканье. Можно было подумать, что за ширмочкой возится стадо тюленей или закладывают лошадь. Кабинет Веревкина был обставлен, как всякий адвокатский кабинет: мебель во вкусе трактирной роскоши, голые красавицы на стенах, медвежья шкура у письменного стола, пикантные статуэтки из терракоты на столе и т. д. Некоторое исключение представлял графин водки, поставленный вместе с объедками балыка на круглом столике у самого письменного стола. Рассматривая эту обстановку, Привалов думал о своем последнем разговоре с Васильем Назарычем. К Ляховскому в тот день Привалов, конечно, не поехал, как и в следующий за ним. Ему было слишком тяжело и без того. В течение трех дней у Привалова из головы не выходила одна мысль, мысль о том, что Надя уехала на Шатровские заводы. Ему страшно хотелось само-

му сейчас же уехать на заводы, но его задержала мысль, что это походило бы на погоню и могло поднять в городе лишние толки. Да и опекунов необходимо было видеть, чтобы явиться к Косте не с пустыми руками. Привалов остановился на Половодове, потому что он был ближе к Веревкину и от него удобно было получить некоторые предварительные сведения, прежде чем ехать к Ляховскому.

— Водку пили? — спрашивал Веревкин, выставляя из-за ширмы свою кудрявую голову. — Вот тут графин стоит... Одолжайтесь. У меня сегодня какая-то жажда...

— Благодарю, — отозвался Привалов.

В это время дверь в кабинет осторожно отворилась, и на пороге показался высокий худой старик лет под пятьдесят; заметив Привалова, старик хотел скрыться, но его остановил голос Веревкина:

— Это ты, папахен?.. Здесь свои... Сергей Александрыч, рекомендую: мой родитель, развинтился плотию, но необыкновенно бодр духом. Вообще, молодец старичина... Водки хочешь, папахен?

— Очень и очень приятно, — немного

хриплым голосом проговорил Иван Яковлич, нерешительно пожимая руку Привалова своей длинной, женского склада рукой. — Весь город говорит о вашем приезде, — прибавил Иван Яковлич, продолжая пожимать руку Привалова. — Очень и очень приятно...

Длинная тощая фигура Ивана Яковлича, с согнутой спиной и тонкими ногами, не давала никаких оснований предположить, что Nicolas Веревкин был кость от кости, плоть от плоти именно такой подвижнической фигуры. Небольшая головка была украшена самою почтенною лысиною, точно все волосы на макушке были вылизаны коровой или другим каким животным, обладающим не менее широким и длинным языком; эта оригинальная головка была насажена на длинную жилистую шею с резко выдававшимся кадыком, точно горло было завязано узлом. Неправильный нос, густые брови, выцветшие серые глаза и жиденькие баки придавали физиономии Ивана Яковлича такое выражение, как будто он постоянно к чему-то прислушивался. Одет он был в длинный английского покроя сюртук; на одной руке оставалась не снятой пале-

вая новенькая перчатка. Когда Веревкин показался наконец из-за ширмы в светло-желтой летней паре из чечунчи, Иван Яковлич сделал озабоченное лицо и проговорил с своей неопределенной улыбкой:

— А я было зашел к тебе, Nicolas, по одному делу...

— Опять, видно, продулся?

Иван Яковлич сделал беспокойное движение плечами и покосился в сторону Привалова.

— Не беспокойся, папахен: Сергей Александрыч ведь хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов, — добродушно басил Nicolas, хлопая Ивана Яковлича по спине. — Ну, опять продулся?

— Н... нет, то есть нужно расквитаться с одним карточным долгом... Я думал...

— Ну, папахен, ты как раз попал не в линию; у меня на текущем счету всего один трехрублевый билет... Возьми, пригодится на извозчика.

— Нет, я, собственно, не нуждаюсь, но этот Ломтев пристал с ножом к горлу... На нем иногда точно бес какой поедет, а между тем я

ждал за ним гораздо дольше.

— Да, да, папахен; мы с тобой вообще много страдаем от людской несправедливости... Так ты водки не хочешь, папахен?

Иван Яковлич великодушно отказался и от водки и от трехрублевого билета и удалился из кабинета такими же неслышными шагами, как вошел; Веревкин выпил рюмку водки и добродушно проговорил:

— Отличный старичина, только вот страстишка к картишкам все животы подводит. Ну что, новенького ничего нет? А мы с вами сегодня сделаем некоторую экскурсию: перехватим сначала кофеев у мутерхен,[26] а потом закатимся к Половодову обедать. Он, собственно, отличный парень, хоть и врет любую половину.

Глава 20

Привалов ожидал обещанного разговора о своем деле и той «таинственной нити», на которую намекал Веревкин в свой первый визит, но вместо разговора о нити Веревкин схватил теперь Привалова под руку и потащил уже в знакомую нам гостиную. Агриппина Филипьевна встретила Привалова с ари-

стократической простотой, как владетельная герцогиня, и с первых же слов подарила полдюжиной самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее репертуаре.

— Мы, мутерхен, насчет кофеев, — объяснил Nicolas, грузно опускаясь в кресло.

Агриппина Филипьевна посмотрела на своего любимца и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выражением, которое говорило: «Вы уж извините, Сергей Александрыч, что Nicolas иногда позволяет себе такие выражения...» В нескольких словах она дала заметить Привалову, что уже кое-что слышала о нем и что очень рада видеть его у себя; потом сказала два слова о Петербурге, с улыбкой сожаления отозвалась об Узле, который, по ее словам, был уже на пути к известности, не в пример другим уездным городам. Привалов отвечал то, что отвечают в подобных случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Филипьевной, порывался вставить свое слово и одобрительно-почтительно мычал. В заключение он не мог не почувствовать, что находится в самых недрах узловского beau monde'a и что Агриппина Филипьевна — да-

ма с необыкновенно изящными аристократическими манерами. Агриппина Филипьевна, с своей стороны, вывела такое заключение, что хотя Привалов на вид немного мужиковат, но относительно вопроса, будет или не будет он иметь успех у женщин, пока ничего нельзя сказать решительно.

Этот интересный разговор, походивший на испытание Привалова по всем пунктам, был прерван восклицанием Nicolas:

— А вот и дядюшка!..

В дверях гостиной, куда оглянулся Привалов, стоял не один дядюшка, а еще высокая, худощавая девушка, которая смотрела на Привалова кокетливо прищуренными глазами. «Вероятно, это и есть барышня с секретом», — подумал Привалов, рассматривая теперь малороссийский костюм Аллы. Дядюшка Оскар Филипыч принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые постоянно улыбаются самым сладким образом, ходят маленькими шажками, в качестве старых холостяков любят дамское общество и непременно имеют какую-нибудь странность: один боится мышей, другой не выносит каких-ни-

будь духов, третий целую жизнь подбирает коллекцию тросточек разных исторических эпох и т. д. Оскар Филипыч, как мы уже знаем, любил удить рыбу и сейчас только вернулся с Аллой откуда-то с облюбованного местечка на реке Узловке, так что не успел еще снять с себя своего летнего парусинового пальто и держал в руках широкополую соломенную шляпу. Привалов пожал маленькую руку дядюшки, который чуть не растаял от удовольствия и несколько раз повторил:

— Да, да... я слышал о вашем приезде... да!..

— Моя вторая дочь, Алла, — певуче протянула Агриппина Филипьевна, когда дядюшка поместился с своими улыбками на диване.

Привалов раскланялся, Алла ограничилась легким кивком головы и заняла место около мамаши Агриппина Филипьевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыбной ловле, что последняя и выполнила с большим искусством, то есть слегка картавым выговором передала несколько смешных сцен, где главным действующим лицом был дядюшка.

Появилось кофе в серебряном кофейнике, а за ним вышла красивая мамка в голубом ко-

кошнике с маленьким Вадимом на руках.

— Обратите внимание, Сергей Александрыч, на это произведение природы, — говорил Nicolas, принимая Вадима к себе на руки. — Ведь это мой брат Вадишка...

— Ах, Nicolas, — кокетливо отозвалась Агриппина Филипьевна, — ты всегда скажешь что-нибудь такое...

— Я, кажется, ничего такого не сказал, мутерхен, — оправдывался Nicolas, высоко подбрасывая кверху «произведение природы», — иметь младших братьев в природе вещей...

— О, совершенно в природе! — согласился дядюшка, поглаживая свое круглое и пухлое, как у танцовщицы, коленко. — Я знал одну очень почтенную даму, которая...

Публика, собравшаяся в гостиной Агриппины Филипьевны, так и не узнала, что сделала «одна очень почтенная дама», потому что рассказ дядюшки был прерван каким-то шумом и сильной возней в передней. Привалов расслышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то хриплым голосом.

— Ах, это Аника Панкратыч Лепешкин, золотопромышленник, — предупредила Прива-

лова Агриппина Филипьевна и величественно поплыла навстречу входившей Хионии Алексеевне. Дамы, конечно, громко расцеловались, но были неожиданно разлучены седой толстой головой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хозяйки.

— Как вы меня испугали, Аника Панкратыч...

— Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка, — хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, старик, хлопая Агриппину Филипьевну все с той же фамильярностью по плечу. Одет он был в бархатную поддевку и ситцевую рубашку-косоворотку; суконные шаровары были заправлены в сапоги с голенищами бутылкой. — Ох, уморился, отцы! — проговорил он, взмахивая короткой толстой рукой с отекшими красными пальцами, смотревшими врозь.

Кивнув головой Привалову, Хиония Алексеевна уже обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом: «Как вы сегодня интересны, mon ange...» Лепешкин, как шар, подкатился к столу. Агриппина Филипьевна отрекомендовала его Привалову.

— А мы тятеньку вашего, покойничка, знавали даже очень хорошо, — говорил Лепешкин, обращаясь к Привалову. — Первеющий человек по нашим местам был... Да-с. Ноньче таких и людей, почитай, нет... Малодушный народ пошел ноньче. А мы и о вас наслышаны были, Сергей Александрыч. Хоть и в лесу живем, а когда в городе дрова рубят — и к нам щепки летят.

Лепешкин приложил свое вспотевшее, оплывшее лицо к ручке Аллы, поздоровался с дядюшкой, хлопнув его своей пятерней по коленку, и проговорил, грузно опускаясь в кресло:

— Ох, изморился я, отцы... Жарынь!.. Кваску бы испить, Аграфена Филипьевна?..

— А ты ступай в кабинет ко мне, — предлагал Nicolas. — Там найдешь чем червячка заморить.

— Нно-о?.. и безногого щенка подковать можно?

— Конечно, можно.

— А вот мы ужо с его преподобием... — проговорил Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на своих тоненьких

ножках Ивану Яковличу. — Старичку наше почтение...

— Пойдем, пойдем, — отвечал Иван Яковлич, подхватывая Лепешкина под руку; рядом они очень походили на цифру десять.

— Какой забавный этот Аника Панкратыч, — проговорила Агриппина Филипьевна, когда цифра десять скрылась в дверях. — Алла, принеси Анике Панкратычу квасу, — прибавила она. — Он так всегда балует тебя.

— Ведь Лепешкин очень умен, — вставила свое слово Хиония Алексеевна. — Он только прикидывается таким простачком... Простой мужик — и нажил сто тысяч. Да, очень, очень умен!

В это время в кабинете Nicolas происходила такая сцена:

— Голубчик, Аника Панкратыч, выручи, — умолял Иван Яковлич, загнав Лепешкина в самый угол. — Дай мне, душечка, всего двести рублей... Ведь пустяки: всего двести рублей!.. Я тебе их через неделю отдам.

— Знаем мы вашу неделю, ваше преподобие, — грубо отвечал Лепешкин, вытирая свое сыромятное лицо клетчатым бумажным

платком. — Больно она у тебя долга, Иван Яковлич, твоя неделя-то.

— Хочешь, на колени перед тобой встану, — только выручи...

— А ты как полагаешь: у меня для вашего брата вроде как монетный двор налажен?

— Голубчик, Аника Панкратыч, не ломайся... Ведь всего двести рублей!!.. Хочешь, сейчас вексель в четыреста рублей подпишу?

— Нет, зачем пустое говорить... Мне все едино, что твой вексель, что прошлогодний снег! Уж ты, как ни на есть, лучше без меня обойдись...

— Ах, старый черт!.. — застонал Иван Яковлич, схватившись за голову. — Ведь всего двести рублей... ломается...

— Да на што тебе деньги-то?

— Ах, господи, господи! Помнишь ирбитских купцов, с которыми в «Магните» кутили? Ну, сегодня они будут у Ломтева... Понимаешь?

— Как не понять!.. Даже оченно хорошо понимаю. Обыграете хоть кого...

— Отчего же денет не даешь?

— Жаль... Актрысам свезешь.

— Аника Панкратыч, голубчик!.. — умолял Иван Яковлич, опускаясь перед Лепешкиным на колени. — Ей-богу, даже в театр не загляну! Целую ночь сегодня будем играть. У меня теперь голова свежая.

— На што свежее, коли денег нет. Это завсегда так бывает с вашим братом.

— Зарываться не буду и непременно выиграю. Ты только одно пойми: ирбитские купцы... Ведь такого случая не скоро дождешься!.. Да мы с Ломтевым так их острижем...

— Знаю, что острижете, — грубо проговорил Лепешкин, вынимая толстый бумажник. — Ведь у тебя голова-то, Иван Яковлич, золотая, прямо сказать, кабы не дыра в ней... Не стоял бы ты на коленях перед мужиком, ежели бы этих своих глупостев с женским полом не выкидывал. Да... Вот тебе деньги, и чтобы завтра они у меня на столе лежали. Вот тебе мой сказ, а векселей твоих даром не надо, — все равно на подтопку уйдут.

Иван Яковлич ничего не отвечал на это нравоучение и небрежно сунул деньги в боковой карман вместе с шелковым носовым платком. Через десять минут эти почтенные

люди вернулись в гостиную как ни в чем не бывало. Алла подала Лепешкину стакан квасу прямо из рук, причем один рукав сбился и открыл белую, как слоновая кость, руку по самый локоть с розовыми ямочками, хитрый старик только прищурил свои узкие, заплывшие глаза и проговорил, принимая стакан:

— Вот уж что хорошо, так хорошо... люблю!.. Уважила барышня старика... И рубашечка о семи шелках, и сарафанчик-растегайчик, и квасок из собственных ручек... люблю за хороший обычай!..

Привалов еще раз имел удовольствие выслушать историю о том, как необходимо молодым людям иметь известные удовольствия и что эти удовольствия можно получить только в Общественном клубе, а отнюдь не в Благородном собрании. Было рассказано несколько анекдотов о членах Благородного собрания, которые от скуки получают морскую болезнь. Хиония Алексеевна ввернула словечко о «гордеце» и Ляховском, которые, конечно, очень богатые люди, и т. д. Этот беглый разговор необыкновенно оживился, когда тема незаметно скользнула на узловских

невест.

— Какое прекрасное семейство Бахаревых, — сладко закатывая глаза, говорила Хиония Алексеевна, — не правда ли, Сергей Александрыч?

— О да, — протянула Агриппина Филипьевна с приличной важностью. — Nadine Бахарева и Sophie Ляховская у нас первые красавицы… Да. Вы не видали Sophie Ляховской. Замечательно красивая девушка… Конечно, она не так умна, как Nadine Бахарева, но в ней есть что-то такое, совершенно особенное. Да вот сами увидите.

— Ведь Nadine Бахарева уехала на Шатровский завод, — сообщила Хиония Алексеевна, не глядя на Привалова. — Она ведет все хозяйство у брата… Очень, очень образованная девушка.

— Она, кажется, училась у доктора Сараева? — спрашивала Агриппина Филипьевна.

— О да… Вместе с Sophie Ляховской. Сначала они занимались у доктора, потом у Лоскутова.

— Скажите… — протянула Агриппина Филипьевна. — А ведь я до сих пор еще не знала

об этом.

— Да, да... Лоскутов и теперь постоянно бывает у Ляховских. Говорят, что замечательный человек: говорит на пяти языках, объездил всю Россию, был в Америке...

— Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно, нам пора в путь, — заговорил Nicolas, поднимаясь. — Мутерхен, ты извинишь нас, мы к славянофилу завернем... До свидания, Хиония Алексеевна. Мы с Аникой Панкратычем осенью поступаем в ваш пансион для усовершенствования во французских диалектах... Не правда ли?

На прощанье Агриппина Филипьевна даже с некоторой грустью дала заметить Привалову, что она, бедная провинциалка, конечно, не рассчитывает на следующий визит дорогого гостя, тем более что и в этот успела наскучить, вероятно, до последней степени; она, конечно, не смеет даже предложить столичному гостю завернуть как-нибудь на один из ее четвергов.

— Нет, я непременно буду у вас, Агриппина Филипьевна, — уверял Привалов, совершенно подавленный этим потоком любезно-

стей. — В ближайший же четверг, если позволите...

— Он непременно придет, мутерхен, — уверял Nicolas. — Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого поля...

«Отчего же не прийти? — думал Привалов, спускаясь по лестнице. — Агриппина Филипьевна, кажется, такая почтенная дама...»

Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиной Агриппины Филипьевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же — о приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось... Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться следы приваловских миллионов.

— Ах, ешь его мухи с комарами! — проговорил Лепешкин, нарушая овладевшее всеми раздумье. — Четыре миллиона наследства заполучил... а? Нам бы хоть понюхать таких деньжищ... Так, Оскар Филипыч?

— О да... совершенно верно: хоть бы понюхать, — сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. — Очень богатые люди бывают...

— Вот бы нам с тобой, Иван Яковлич, такую уйму денег... а? — говорил Лепешкин. — Ведь такую обедню отслужили бы, что чертям тошно...

Иван Яковлич ничего не отвечал, а только посмотрел на дверь, в которую вышел Привалов «Эх, хоть бы частичку такого капитала получить в наследство, — скромно подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опомнился и мысленно прибавил: — Нет, уж лучше так, все равно отобрали бы хористки, да арфистки, да Марья Митревна, да та рыженькая... Ах, черт ее возьми, эту рыженькую... Препикантная штучка!..»

Глава 21

На подъезде Веревкина обступили те самые мужики, которых видел давеча Привалов. Они были по-прежнему без шапок, а кривой мужик прямо бухнулся Веревкину в ноги, умоляя «ослобонить».

— Завтра, завтра... Видите, что сегодня мне

некогда! — говорил Веревкин, помогая Привалову сесть в свою довольно подержанную пролетку, заложенную парой соловых вяток на отлете... — Завтра, братцы...

— Миколай Иваныч, заставь вечно бога молить!.. — громче всех кричал кривой мужик, бросая свою рваную шапку оземь. — Изморились... Ослобони, Миколай Иваныч!

— Не угодно ли вам в мою кожу влезть: пристали, как с ножом к горлу, — объяснил Веревкин, когда пролетка бойко покатилась по широкой Мучной улице, выходившей к монастырю. — Все это мои клиенты, — проговорил Веревкин, кивая головой на тянувшиеся по сторонам лавки узловских мучников. — Вы не смотрите, что на вид вся лавчонка трех рублей не стоит: вон на этих мешках да на ларях такие куши рвут, что мое почтение. Войдешь в такую лавчонку, право, даже смотреть нечего: десяток мешков с мукой, в ларях на донышке овес, просо, горох, какая-нибудь крупа — кажется, дюжины мышей не накормишь...

Пролетка остановилась у подъезда низенького деревянного дома в один этаж с высокой

крышей и резным коньком. Это и был дом Половодова. Фронтон, окна, подъезд и ворота были покрыты мелкой резьбой в русском вкусе и раскрашены под дуб Небольшая терраса, выходившая в сад, походила на аквариум, из которого выпущена вода. В небольшие окна с зеркальными стеклами смотрели широкие, лапчатые листья филодендронов, камелии, пальмы, араукарии. На дворе виднелось длинное бревенчатое здание с стеклянной крышей, — не то оранжерея, не то фотография или театр; тенистый садик из лип, черемух, акаций и сиреней выходил прямо к Узловке, где мелькали и «китайские беседки в русском вкусе», и цветочные клумбы, и зеркальный шар, и даже небольшой фонтан с русалкой из белого мрамора. Вообще домик был устроен с большим вкусом и был тем, что называется полная чаша. От ручки звонка до последнего гвоздя все в доме было пригнано под русский вкус и только не кричало о том, как хорошо жить в этом деревянном уютном гнездышке. После двусмысленной роскоши приемной Агриппины Филипьевны глаз невольно отдыхал здесь на каждой вещи, и

гостя сейчас за порогом подъезда охватывала атмосфера настоящего богатства. Привалов мимоходом прочитал вырезанную над дверями гостиной славянской вязью пословицу: «Не имей ста рублей, имей сто друзей».

— Это даже из арифметики очень хорошо известно, — комментировал эту пословицу Веревкин, вылезая при помощи слуги самой внушительной наружности из своего балахона. — Ибо сто рублей не велики деньги, а у сотни друзей по четвертной занять — и то не малая прибыль.

— Александр Павлыч сейчас принимает ванну, — докладывал лакей.

— Ну так доложи хозяйке, что так и так, мол, гости, — распоряжался Веревкин, как в своем кабинете.

— Их нет дома...

— Вот это так мило: хозяин сидит в ванне, хозяйки нет дома...

— Нет, нет, я здесь... — послышался приятный грудной баритон, и на пороге гостиной показался высокий худой господин, одетый в летнюю серую пару. — Если не ошибаюсь, — прибавил он нараспев, прищурив немного

Свои подслеповатые иззелена-серые глаза, — я имею удовольствие видеть Сергея Александрыча?

— Ну, теперь начнется десять тысяч китайских церемоний, — проворчал Веревкин, пока Половодов жал руку Привалова и ласково заглядывал ему в глаза: — «Яснейший брат солнца... прозрачная лазурь неба...» Послушай, Александр, я задыхаюсь от жары; веди нас скорее куда-нибудь в место не столь отдаленное, но прохладное, и прикажи своему отроку подать чего-нибудь прохладительного... У меня сегодня удивительная жажда... Ну, да уж я сам распоряжусь. Эй, хлопче, очищенной на террасу и закусить чего-нибудь солененького!.. Сергей Александрыч, идите за мной.

Ход на террасу был через столовую, отделанную под старый темный дуб, с изразцовой печью, расписным, пестрым, как хромотроп, потолком, с несколькими резными поставцами из такого же темного дуба. Посредине стоял длинный дубовый стол, покрытый суровой камчатной скатертью с широкой каймой из синих и красных петухов. Над дверями столовой было вырезано неизменной славянской

вязью: «Не красна изба углами, а красна пирогами», на одном поставце красовались слова: «И курица пьет». Привалов искоса разглядывал хозяина, который шагал рядом и одной рукой осторожно поддерживал его за локоть, как лунатика. На первый раз Привалову хозяин показался серым: и лицо серое, и глаза, и волосы, и костюм, — и решительно все серое. Дальше он заметил, что нижняя челюсть Половодова была особенно развита; французские анатомы называют такие челюсти калошами. Когда все вышли на террасу и разместились около круглого маленького столика, на зеленых садовых креслах, Привалов, взглянув на длинную нескладную фигуру Половодова, подумал: «Эк его, точно сейчас где-то висел на гвозде». Вытянутое, безжизненное лицо Половодова едва было тронуто жиденькой растительностью песочного цвета; широко раскрытые глаза смотрели напряженным, остановившимся взглядом, а широкие, чувственные губы и крепкие белые зубы придавали лицу жесткое и, на первый раз, неприятное выражение. Но когда Половодов начинал говорить своим богатым грудным баритоном,

не хотелось верить, что это говорит именно он, а казалось, что за его спиной говорит кто-то другой.

— Сюда, сюда... — командовал Веревкин лакею, когда тот появился с двумя подносами в руках. — Кружки барину, а нам с Сергеем Александрычем графинчик.

— Нет, я не буду пить водку, — протестовал Привалов.

— Давеча отказались и теперь не хотите компанию поддержать? — вытаращив свои оловянные глаза, спрашивал Веревкин.

— Nicolas, кто же пьет теперь водку? — вступился Половодов, придвигая Привалову какую-то кружку самой необыкновенной формы. — Вот, Сергей Александрыч, испробуйте лучше кваску домашнего приготовления...

— Нужно сначала сказать: «чур меня», а потом уж пить твой квас, — шутил Веревкин, опрокидывая в свою пасть рюмку очищенной.

Привалов с удовольствием сделал несколько глотков из своей кружки — квас был великолепен; пахучая струя княженики так и ударила его в нос, а на языке остался приятный

вяжущий вкус, как от хорошего шампанского.

— Я так рад видеть вас наконец, Сергей Александрыч, — говорил Половодов, вытягивая под столом свои длинные ноги. — Только надолго ли вы останетесь с нами?

— Если обстоятельства не помешают, думаю остаться совсем, — отвечал Привалов.

— Вот и отлично: было бы желание, а обстоятельства мы повернем по-своему. Не так ли? Жить в столице в наше время просто грешно. Провинция нуждается в людях, особенно в людях с серьезным образованием.

«Ну, теперь запел Лазаря», — заметил про себя Веревкин. — То-то обрадуете эту провинцию всесословной волостью, мекленбургскими порядками да поземельной аристократией...

— Я никому не навязываю своих убеждений, — обиженным голосом проговорил Половодов. — Можно не соглашаться с чужими мнениями и вместе уважать их... Вот если у кого нет совсем мнений...

— Если это ты в мой огород метишь, — напрасный труд, Александр... Все равно, что из пушки по воробью палить... Ха-ха!..

— У нас всякое дело так идет, — полузакрыв глаза и подчеркивая слова, проговорил Половодов. — На всех махнем рукой — и хороши, а чуть кто-нибудь что-нибудь задумает сделать — подымем на смех. Я в этом случае уважаю одно желание что-нибудь сделать, а что сделает человек и как сделает — это совсем другой вопрос. Недалеко ходить: взять славянофильство — кто не глумится? А ведь согласитесь, Сергей Александрыч, в славянофильстве, за вычетом неизбежных увлечений и крайностей в каждом новом деле, есть, несомненно, хорошие стороны, известный саморост, зиждительная сила народного самосознания...

— Ну, теперь пошел конопатить, — проговорил Веревкин и сейчас же передразнил Половодова: — «Тоска по русской правде... тайники народной жизни...» Ха-ха!..

— Мне не нравится в славянофильстве учение о национальной исключительности, — заметил Привалов. — Русский человек, как мне кажется, по своей славянской природе, чужд такого духа, а наоборот, он всегда страдал излишней наклонностью к сближению с

другими народами и к слепому подражанию чужим обычаям... Да это и понятно, если взять нашу историю, которая есть длинный путь ассимиляции десятков других народностей. Навязывать народу то, чего у него нет, — и бесцельно и несправедливо.

— А пример других наций? Ведь у нас под носом объединились Италия и Германия, а теперь очередь за славянским племенем.

— Славянофилы здесь впадают в противоречие, — заметил Привалов, — потому что становятся на чужую точку зрения и этим как бы отказываются от собственных взглядов.

— Вот это хорошо сказано... Ха-ха! — заливался Веревкин, опрокидывая голову назад. — Ну, Александр, твои курсы упали...

Половодов только посмотрел своим остановившимся взглядом на Привалова и беззвучно пожевал губами. «О, да он не так глуп, как говорил Ляховский», — подумал он, собираясь с мыслями и нетерпеливо барабаня длинными белыми пальцами по своей кружке.

Глава 22

— Тонечка, голубчик, ты спасла меня, как Даниила, сидящего во рву львином! — закричал Веревкин, когда в дверях столовой показалась высокая полная женщина в летней соломенной шляпе и в травянистого цвета платье. — Представь себе, Тонечка, твой благоверный сцепился с Сергеем Александрычем, и теперь душат друг друга такой ученостью, что у меня чуть очи изо лба не повылезли...

— Тонечка, представляю тебе нашего дорогого гостя, — рекомендовал Половодов своей жене Привалова.

Антонида Ивановна была красива какой-то ленивой красотой, разлитой по всей ее статной, высокой фигуре. В ней все было красиво: и небольшой белый лоб с шелковыми прядями мягких русых волос, и белый детски пухлый подбородок, неглубокой складкой, как у полных детей, упиравшийся в белую, точно выточенную шею с коротенькими золотистыми волосами на крепком круглом затылке, и даже та странная лень, которая лежала, кажется, в каждой складке платья, связывала все движения и едва теплилась в мед-

ленном взгляде красивых светло-карих глаз. Летом Антонида Ивановна чувствовала себя самой несчастной женщиной в свете, потому что ей решительно везде было жарко, а платье непременно где-нибудь жало. Nicolas объяснял это наследственностью, потому что в крови Веревкиных пылал вечный жар, порождавший вечную жажду.

— Я, кажется, помешала вам?.. — нерешительно проговорила Антонида Ивановна, продолжая оставаться на прежнем месте, причем вся ее стройная фигура эффектно вырезывалась на темном пространстве дверей. — Мне maman говорила о Сергее Александрыче, — прибавила она, поправляя на руке шведскую перчатку.

Привалов смотрел на нее вопросительным взглядом и осторожно положил свою левую руку на правую — на ней еще оставалась теплота от руки Антониды Ивановны. Он почувствовал эту теплоту во всем теле и решительно не знал, что сказать хозяйке, которая продолжала ровно и спокойно рассказывать что-то о своей maman и дядюшке.

— Тонечка, покорми нас чем-нибудь!.. —

умолял Веревкин, смешно поднимая брови. — Ведь пятый час на дворе... Да, кстати, вели подавать уж прямо сюда, — отлично закусим под сенью струй. Понимаешь?

Антонида Ивановна молча улыбнулась той же улыбкой, с какой относилась всегда Агриппина Филипьевна к своему Nicolas, и, кивнув слегка головой, скрылась в дверях. «Она очень походит на мать», — подумал Привалов. Половодов рядом с женой показался еще суше и безжизненнее, точно вяленая рыба.

Обед был хотя и обыкновенный, но все было приготовлено с таким искусством и с таким глубоким знанием человеческого желудка, что едва ли оставалось желать чего-нибудь лучшего. Действие открылось необыкновенно мудреной ботвиньей. Ему предшествовал целый ряд желто-золотистого цвета горьких настоек самых удивительных свойств и зеленоватая листовка, которая была chef-d'oeuvre в своем роде. Все это пилось из маленьких чарочек граненого богемского хрусталя с вырезными виньетками из пословиц «пьян да умен — два угодья в нем», «пьян бы-

вал, да ума не терял».

Сервировка была в строгом соответствии с господствовавшим стилем: каймы на тарелках, черенки ножей и вилок из дутого серебра, суповая чашка в форме старинной ендовы — все было подогнано под русский вкус.

— Где-то у тебя, Тонечка, был этот ликерчик, — припрашивал Веревкин, сделав честь настойкам и листовке, — как выпьешь рюмочку, так в голове столбы и заходят.

— Не всё вдруг, — проговорила Антонида Ивановна таким тоном, каким отвечают детям, когда они просят достать им луну.

Веревкин только вздохнул и припал своим красным лицом к тарелке. После ботвиньи Привалов чувствовал себя совсем сытым, а в голове начинало что-то приятно кружиться. Но Половодов время от времени вопросительно посматривал на дверь и весь просиял, когда наконец показался лакей с круглым блюдом, таинственно прикрытым салфеткой. Приняв блюдо, Половодов торжественно провозгласил, точно на блюде лежал новорожденный:

— Господа, рекомендую... Фаршированный

калач...

Фаршированный калач был последней новостью и поэтому обратил на себя общее внимание. Он был великолепен: каждый кусок так и таял во рту. Теперь Половодов успокоился и весь отдался еде. За калачом следовали рябчики, свежая оленина и еще много другого. Каждое блюдо имело само по себе глубокий внутренний смысл, и каждый кусок отправлялся в желудок при такой торжественной обстановке, точно совершалось какое-нибудь таинство. Нечего и говорить, конечно, что каждому блюду предшествовал и последовал соответствующий сорт вина, размер рюмок, известная температура, особые приемы разливания по рюмкам и самые мудреные способы проглатывания. Одно вино отхлебывалось большими глотками, другое маленькими, третьим полоскали предварительно рот, четвертое дегустировали по каплям и т. д. Веревкин и Половодов смаковали каждый кусок, подолгу жевали губами и делали совершенно бессмысленные лица. Привалов заметил, с какой энергией работала нижняя челюсть Половодова, и невольно подумал:

«Эк его взяло...» Веревкин со свистом и шипеньем обсасывал каждую кость и с умилением вытирал лоснившиеся жирные губы салфеткой.

«Вот так едят! — еще раз подумал Привалов, чувствуя, как решительно был не в состоянии проглотить больше ни одного куска. — Да это с ума можно сойти...»

Антонида Ивановна несколько раз пристально рассматривала широкое и добродушное лицо Привалова и каждый раз думала: «Да он ничего, этот Привалов... Зачем это maman говорит, что он не может иметь успеха у женщин? Он, кажется, немного стесняется, но это пройдет». Привалов чувствовал на себе этот пристальный взгляд, обдававший его теплом, и немного смущался. Разговор служил продолжением той салонной болтовни, какая господствовала в гостиной Агриппины Филипьевны. Перебирали последние новости, о которых Привалов уже слышал от Виктора Васильича, рассказывали о каком-то горном инженере, который убежал на охоте от медведя.

— Вы еще не были у Ляховских? — спраши-

вала Антонида Ивановна, принимая от лакея точно молоком налитой рукой блюдо земляники.

— Нет, мне хотелось бы отправиться к Ляховскому вместе с Александром Павлычем, — отвечал Привалов.

— О, с большим удовольствием, когда угодно, — отозвался Половодов, откидываясь на спинку своего кресла.

— Александр Павлыч всегда ездит к Ляховскому с большим удовольствием, — заметила Антонида Ивановна.

— Так и знал, так и знал! — заговорил Веревкин, оставляя какую-то кость. — Не выдержало сердечко? Ах, эти дамы, эти дамы, — это такая тонкая материя! Вы, Сергей Александрыч, приготовляйтесь: «Sophie Ляховская — красавица, Sophie Ляховская — богатая невеста». Только и свету в окне, что Sophie Ляховская, а по мне так, право, хоть совсем не будь ее: этакая жиденькая, субтильная... Одним словом — жидель!

Веревкин красноречивым жестом добавил то, что язык затруднялся выразить.

— Я уже слышал, что Ляховская очень кра-

сивая девушка, — заметил Привалов улыбаясь.

— Все наши мужчины от нее без ума, — серьезно отвечала Антонида Ивановна.

— Только, пожалуйста, Тонечка, не включай меня в число этих «ваших мужчин», — упрашивал Веревкин, отдуваясь и обмахивая лицо салфеткой.

Антонида Ивановна спокойным тоном проговорила:

— Я ничего не говорю про тебя, Nicolas, Sophie не обращает на тебя никакого внимания, вот ты и злишься...

— Ах, господи! — взмолился Веревкин своим добродушным басом. — Неужели уж я своей персоной так-таки и не представляю никакого интереса? Конечно, я во французских диалектах не силен — винюсь, но не такой же я мешок, что порядочной девушке и полюбить меня нельзя...

— Дело не в персоне, а в том... да вот лучше спроси Александра Павлыча, — прибавила Антонида Ивановна. — Он, может быть, и откроет тебе секрет, как понравиться mademoiselle Sophie.

— Ах, секрет самый простой: не быть скучным, — весело отвечал Половодов. — Когда мы с вами будем у Ляховского, Сергей Александрыч, — прибавил он, — я познакомлю вас с Софьей Игнатьевной... Очень милая девушка! А так как она вдобавок еще очень умна, то наши дамы ненавидят ее и, кажется, только в этом и согласны между собой.

— Меня уже обещал познакомить с mademoiselle Ляховской Виктор Васильич, — проговорил Привалов.

— Виктор Васильич?! Ха, ха!.. — заливался Половодов. — Да он теперь недели две как и глаз не кажет к Ляховским. Проврался жестоким образом... Уверял Ляховскую, что будет издавать детский журнал в Узле Ха-ха!..

Обед кончился очень весело; но когда были поданы бутылки с лафитом и шамбертеном, Привалов отказался наотрез, что больше не будет пить вина. Веревкин дремал в своем кресле, работая носом, как буксирный пароход. Половодов опять взял гостя за локоть и осторожно, как больного, провел в свой кабинет — потолковать о деле. Этот кабинет занимал маленькую угловую комнату. Письмен-

ный стол занимал самую средину. Кругом него были расставлены мудреные стулья с высокими резными спинками и сиденьем, обтянутым тисненным золотыми разводами красным сафьяном. Половодов подвел гостя к креслу такой необыкновенной формы, что Привалов просто не решился на него сесть, — это было что-то вроде тех горних мест, на какие сажают архиереев.

— Вот ваше дельце по опеке, — проговорил Половодов, тыкая пальцем на дубовый поставец в углу. — Ведь надо же было случиться такому казусу... а?.. Братец-то ваш задачу какую задал нам всем? Мы просто голову потеряли с Ляховским. Тит был в последнее время в пансионе Тидемана, недалеко от Цюриха. Вдруг телеграмма: «Тит Привалов исчез неизвестно куда...» Извольте теперь разыскивать его по всей Европе Вот когда будем у Ляховского, тогда мы подробно обсудим, что предпринять, а пока, с вашего позволения, я познакомлю вас в общих чертах с нашей опекой.

— Нельзя ли в другой раз, Александр Павлыч? — взмолился Привалов, чувствовавший после обеда решительную неспособность к

какому-нибудь делу.

— Как хотите, Сергей Александрыч. Впрочем, мы успеем вдоволь натолковаться об опеке у Ляховского. Ну-с, как вы нашли Василья Назарыча? Очень умный старик. Я его глубоко уважаю, хотя тогда по этой опеке у нас вышло маленькое недоразумение, и он, кажется, считает меня причиной своего удаления из числа опекунов. Надеюсь, что, когда вы хорошенько познакомитесь с ходом дела, вы разубедите упрямого старика. Мне самому это сделать было неловко... Знаете, как-то неудобно навязываться с своими объяснениями.

— Василий Назарыч, насколько я понял его, кажется, ничего не имеет ни против вас, ни против Ляховского. Он говорил об отчете.

— Ах, да... Представьте себе, этот отчет просто все дело испортил, а между тем мы тут ни душой, ни телом не виноваты: отчет составлен и теперь гуляет в опекунском совете второй год. Ведь неудобно уверять Василья Назарыча, что у нас, кроме черновых, ничего не осталось. Притом мы не обязаны представлять ему таких отчетов, а только во избежа-

ние недоразумений... Вообще я так рад, что вы, Сергей Александрыч, наконец здесь и сами увидите, в каком положении дела. О Ляховском вы, конечно, слышали... У него есть странности, но это не мешает быть ему очень умным человеком. Да вот сами увидите. Вы, вероятно, поедете на заводы?

— Да, при первой возможности.

Привалов уехал от Половодова с пустыми руками и с самым неопределенным впечатлением от гостеприимного хозяина, который или уж очень умен, или непроходимо глуп. Привалов дал слово Половодову ехать с ним к Ляховскому завтра или послезавтра. Антонида Ивановна показалась в гостиной и сказала на прощанье Привалову с своей ленивой улыбкой.

— Мы будем ждать вас, Сергей Александрыч...

Привалов еще раз почувствовал на себе теплый взгляд Половодовой и с особенным удовольствием пожал ее полную руку с розовыми мягкими пальцами.

— А как сестра русские песни поет... — говорил Веревкин, когда они выходили на

подъезд. — Вот ужо в следующий раз я ее попрошу. Пальчики, батенька, оближешь!

Глава 23

Половодов пользовался в Узле репутацией дельца самой последней формации и слыл после Веревкина лучшим оратором. Собственно, Половодов говорил лучше Веревкина, но его заедала фраза, и в его речах недоставало того огонька, которым было насквозь прохвачено каждое слово Веревкина. Из-за желания блеснуть своим ораторским талантом Половодов два трехлетия служил председателем земской управы. Земские дела вел он плохо, и держались упорные слухи, что Половодов не забывал и себя при расходовании земских сумм. В настоящую минуту тепленькое место директора в узловско-моховском банке и довольно кругленькая сумма, получаемая им в опекунском совете по опеке над Шатровскими заводами, давали Половодову полную возможность жить на широкую ногу и придумывать разные дорогие затеи. На Половодова находила время от времени какая-то дурь. В одну из таких минут он ни с того ни с сего уехал за границу, пошатался там по водам, пожил в

Париже, зачем-то съездил в Египет и на Синай и вернулся из своего путешествия англичанином с ног до головы, в Pith India Helmet [27] на голове, в гороховом сьюте и с произношением сквозь зубы. В г. Узле он отделал свой дом на английский манер и года два корчил из себя узловского сквайра. Когда подул другой ветер, Половодов забросил свой Helmet — Веревкин прозвал его за этот головной убор пожарным — и перевернул весь дом в настоящий его вид. Женитьба на Антониде Ивановне была одним из следствий этого увлечения тайниками народной жизни: Половодову понравились ее наливные плечи, ее белая шея, и Антонида Ивановна пошла в pendant к только что отделанному дому с его расписными потолками и синими петухами. С полгода Антонида Ивановна сохраняла свое положение русской красавицы и обязана была носить косоклинные сарафаны с прошивками из золотых позументов, но скоро эта игра обоим супругам надоела и сарафан Антониды Ивановны был заброшен в тот же угол, где валялась Pith India Helmet. Впрочем, супруги, кажется, не особенно сожалели о таком обороте

дел и вполне довольствовались названием счастливой парочки. Антонида Ивановна отнеслась индифферентно к своему новому положению и удовлетворялась ролью независимой замужней женщины. В глубине души она считала себя очень счастливой женщиной, потому что очень хорошо знала по своему папаше Ивану Яковличу, какие иногда бывают оригинальные мужья. Половодов увлекался женщинами и был постоянно в кого-нибудь влюблен, как гимназист четвертого класса, но эти увлечения быстро соскакивали с него, и Антонида Ивановна смотрела на них сквозь пальцы. У нее была отличная коляска, пара порядочных рысаков, возможность ездить по магазинам и модисткам сколько душе угодно — чего же ей больше желать! Все узловские дамы называли ее счастливейшей женщиной, и Александр Павлыч пользовался репутацией примерного семьянина. Правда, иногда Антонида Ивановна думала о том, что хорошо бы иметь девочку и мальчика или двух девочек и мальчика, которых можно было бы одевать по последней картинке и вывозить в своей коляске, но это желание так и

оставалось одним желанием, — детей у Половодовых не было.

Появление Привалова ничего нового не внесло в дом Половодовых.

— В нем есть непосредственность, — сказала Агриппина Филипьевна. — Он глуповат и простоват, но он может быть героем романа...

Антонида Ивановна задумалась над словом «непосредственность», и оно лезло ей в голову целый вечер. Даже ночью, когда в своей спальне она осталась с мужем и взглянула на его длинную, нескладную фигуру, она опять вспомнила это слово: «Непосредственность... Ах да, непосредственность!» Александр Павлыч в эту ночь не показался ей противнее обыкновенного, и она спала самым завидным образом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна. Александр Павлыч, наоборот, не мог похвалиться особенно покойной ночью: он долго ворочал на постели свои кости и несколько раз принимался тереть себе лоб, точно хотел выскоблить оттуда какую-то идею. Утром Половодов дождался, когда проснется жена, и даже несколько увлекся, взглянув, как она сладко спала на

своей расшитой подушке, раскинув белые полные руки. Он осторожно поцеловал ее в то место на шее, где пояском проходила у нее такая аппетитная складка, и на мгновение жена опять показалась ему русской красавицей.

Когда Антонида Ивановна полоскалась у своего умывального столика, Половодов нерешительно проговорил, видимо что-то соображая про себя:

— Тонечка... как ты нашла Привалова?

— Я? Привалова? — удивилась Антонида Ивановна, повертывая к мужу свое мокрое лицо с следами мыла на шее и голых плечах. «Ах да, непосредственность...» — мелькнуло у ней опять в голове, и она улыбнулась.

— Послушай, Тонечка: сделай как-нибудь так, чтобы Привалову не было скучно бывать у нас. Понимаешь?

— Да что же я могу сделать для него?

— Ах, какая ты глупая... Посоветуйся с maman, она лучше тебе объяснит, чем я, — с улыбкой прибавил Половодов.

Это утро сильно удивило Антониду Ивановну: Александр Павлыч вел себя, как в то время, когда на сцене был еще знаменитый

косоклинный сарафан. Но приступ мужниной нежности не расшевелил Антониду Ивановну, — она не могла ему отвечать тем же.

Появление Привалова заставило Половодова крепко задуматься, потому что с опекой над Шатровскими заводами для него, кроме материальных выгод, было еще связано много надежд в будущем. Собственно говоря, эти надежды носили пока очень смутный и неопределенный характер, но Половодов любил думать на эту тему. В нем заговорила непреодолимая жажда урвать свою долю из того куска, который теперь лежал под носом. Но как это устроить? Он напрасно ломал голову над решением этого вопроса и переходил от одного плана к другому. Главное, обидно было то, что подобное решение должно было существовать, и Половодов пока только предчувствовал это осуществление.

«Недостает решительности! Все зависит от того, чтобы повести дело смелой, твердой рукой, — думал Половодов, ходя по кабинету из угла в угол. — Да еще этот дурак Ляховский тут торчит: дела не делает и другим мешает. Вот если бы освободиться от него...»

У Половодова захватывало дух при одной мысли, что он мог сделаться полновластным и единоличным хозяином в приваловской опеке, тем более что сам Привалов совершенно безопасный человек. Теперь Половодов получал в год тысяч двадцать, но ведь это жалкие, нищенские крохи сравнительно с тем, что он мог бы получить, если бы ему развязать руки. Ляховский бесполезен как участник в выполнении грандиозных планов Половодова, потому что слишком богат для рискованного дела, а затем трус и мелочник. Ему, конечно, не возвыситься до блестящей идеи, которую теперь вынашивал Половодов, переживая муки сомнения и неуверенности в собственных силах.

В один из таких припадков малодушия, когда Половодов испытывал самое скверное расположение духа, в его кабинете появился дядюшка Оскар Филипыч. Старичок дышал по обыкновению юношеской свежестью, особенно рядом с вытянутой серой фигурой Половодова.

«Чему этот дурак радуется?» — со злостью думал Половодов, когда дядюшка ласково и

вкрадчиво улыбался ему.

— Ну, что ваша рыбка? — спрашивал Половодов, не зная, о чем ему говорить с своим гостем.

— О, моя рыбка еще гуляет пока я воде... Да!.. Нужно терпение, Александр Павлыч... Везде терпение, особенно с рыбой. Пусть ее порезвится, погуляет, а там мы ее и подцепим...

Старик рассыпался мелким смешком и весело потер руки; этот смех и особенно пристальный взгляд дядюшки показались Половодову немного подозрительными. О какой рыбке он говорит, — черт его разберет. А дядюшка продолжал улыбаться и несколько раз доставал из кармана золотую табакерку; табак он нюхал очень аккуратно, как старички екатерининских времен.

— Ну, а как вы нашли этого Привалова? — спрашивал дядюшка, играя табакеркой.

— Да пока ничего особенного: ни рыба ни мясо...

— Я немного знал его, когда он еще жил в Петербурге.

— Вы знали Привалова?

— Да, отчасти... То есть знал не лично, а через других. Очень порядочный молодой человек. Жаль, что вы не поладили с ним...

— То есть как это не поладили?

— Я слышал, что Привалов начинает дело против опеки и уже взял себе поверенного.

— Вы хотите сказать о Nicolas? Это старая новость... Только едва ли они чего-нибудь добьются: Привалов и раньше все время хлопотал в Петербурге по своему делу.

— Да, знаю, слышал... Но, видите ли, большая разница — где будет хлопотать Привалов: здесь или там.

Оскар Филипыч в нескольких словах дал заметить Половодову, что ему в тонкости известно не только все дело по опеке, но все его мельчайшие подробности и особенно слабые места. Половодов с возраставшим удивлением слушал улыбавшегося немца и, наконец, проговорил:

— Откуда вы все это узнали и... для чего?

— Так... из любопытства, — скромно отвечал Оскар Филипыч, сладко потягиваясь на своем стуле. — Мне кажется, что вам, Александр Павлыч, выгоднее всего иметь поверен-

ного в Петербурге, который следил бы за малейшим движением всего процесса. Это очень важно, особенно, если за него возьмется человек опытный...

— Вроде вас, например? — недоверчиво произнес Половодов с легкой улыбкой.

— Отчего же, я с удовольствием взялся бы похлопотать... У меня даже есть план, очень оригинальный план. Только с одним условием: половина ваша, а другая — моя. Да... Но прежде чем я вам его раскрою, скажите мне одно: доверяете вы мне или нет? Так и скажите, что думаете в настоящую минуту...

— Я вам не верю, Оскар Филипыч.

— Очень хорошо, очень хорошо, — невозмутимо продолжал дядюшка. — Прежде всего, конечно, важно выяснить взаимные отношения, чтобы после не было ненужных недоразумений. Да, это очень важно. Ваша откровенность делает вам честь... А если я вам, Александр Павлыч, шаг за шагом расскажу, как мы сначала устраним от дел Ляховского, затем поставим вас во главе всего предприятия и, наконец, дадим этому Привалову как раз столько, сколько захотим, — тогда вы мне по-

верите?

— Право, не знаю... У меня тоже есть несколько планов.

— Да, но все-таки один в поле не воин... Вы только дайте мне честное слово, что если мой план вам понравится — барыши пополам. Да, впрочем, вы и сами увидите, что без меня трудно будет обойтись, потому что в план входит несколько очень тонких махинаций.

Половодов затворил дверь в кабинет, раскурил сигару и приготовился слушать дядюшку, которому в глубине души он все-таки не доверял. Как иногда случается с умными людьми, Половодова смущали просто пустяки: наружность дядюшки, его херувимский вид и прилизанность всей фигуры. Оскар Филипыч уже совсем не походил на тех дельцов, с какими Половодову до настоящего времени приходилось иметь дело. Какой-то серый балахон, в котором явился дядюшка, и неизбежная для каждого немца соломенная шляпа — просто возмущали Половодова своим мещанским вкусом. Среди роскошной деловой обстановки половодовского кабинета толстенькая фигурка улыбавшегося немца являлась

неприятным диссонансом, который Просто резал глаз.

— Сначала мы поставим диагноз всему делу, — мягко заговорил дядюшка... — Главный наследник, Сергей Привалов, налицо, старший брат — сумасшедший, младший в безвестном отсутствии. Так? На Шатровских заводах около миллиона казенного долга; положение опекунов очень непрочное...

— Почему вы так думаете?

— Очень просто: вы и Ляховский держитесь только благодаря дворянской опеке и кой-каким связям в Петербурге... Так? Дворянскую опеку и после нельзя будет обойти, но ее купить очень недорого стоит: члены правления — один полусумасшедший доктор-акушер восьмидесяти лет, другой — выгнанный со службы за взятки и просидевший несколько лет в остроге становой, третий — приказная строка, из поповичей... Вся эта братия получает по двадцать восемь рублей месячного жалованья. Так?

— Да вы решительно, кажется, все на свете знаете...

— Из любопытства, Александр Павлыч, из

любопытства. Таким образом, дворянская опека всегда будет в наших руках, и она нам пригодится... Дальше. Теперь для вас самое главное неудобство заключается в том, что вас, опекунов, двое, и из этого никогда ничего не выйдет. Стоит отыскаться Титу Привалову, который как совершеннолетний имеет право выбирать себе опекуна сам, и тогда положение ваше и Ляховского сильно пошатнется: вы потеряете все разом...

— Совершенно верно.

— Но можно устроить так, что вы в одно и то же время освободитесь от Ляховского и ни на волос не будете зависеть от наследников... Да.

— Именно?

— Позвольте... Старший наследник, Привалов, формально не объявлен сумасшедшим?

— Нет, официально ничего не известно...

— О, это прекрасно, очень прекрасно, и, пожалуйста, обратите на это особенное внимание... Как все великие открытия, все дело очень просто, просто даже до смешного: старший Привалов выдает на крупную сумму векселей, а затем объявляет себя несостоятель-

ным. Опекунов побоку, назначается конкурс, а главным доверенным от конкурса являетесь вы... Тогда все наследники делаются пешками, и во всем вы будете зависеть от одной дворянской опеки.

— Оскар Филипыч, да это гениальная мысль!.. — вскричал Половодов, заключая дядюшку в свои объятия.

— Позвольте, Александр Павлыч, — скромно продолжал немец, играя табакеркой. — Мысль, без сомнения, очень счастливая, и я специально для нее ехал на Урал.

— Ловить рыбку? Ха-ха...

— Позвольте... Главное заключается в том, что не нужно терять дорогого времени, а потом действовать зараз и здесь и там. Одним словом, устроить некоторый дуэт, и все пойдет как по нотам... Если бы Сергей Привалов захотел, он давно освободился бы от опеки с обязательством выплатить государственный долг по заводам в известное число лет. Но он этого не захотел сам...

— Нет, вы ошибаетесь: Привалов именно этого и добивался, когда жил в Петербурге, и об этом же будет хлопотать его поверенный,

то есть Nicolas.

— Я вам говорю, что Привалов не хотел этого, не хотел даже тогда, когда ему один очень ловкий человек предлагал устроить все дело в самый короткий срок. Видите ли, необходимо было войти в соглашение кое с кем, а затем не поскупиться насчет авансов, но Привалов ни о том, ни о другом и слышать не хочет. Из-за этого и дело затянулось, но Nicolas может устроить на свой страх то, чего не хочет Привалов, и тогда все ваше дело пропало, так что вам необходим в Петербурге именно такой человек, который не только следил бы за каждым шагом Nicolas, но и парализовал бы все его начинания, и в то же время устроил бы конкурс...

— Дядюшка, вы золотой человек!

— Может быть, буду и золотым, если вы это время сумеете удержать Привалова именно здесь, на Урале. А это очень важно, особенно когда старший Привалов объявит себя несостоятельным. Все дело можно будет испортить, если упустить Привалова.

— Но каким образом я его могу удержать на Урале?

— Это уж ваше дело, Александр Павлыч: я буду свое делать, вы — свое.

— Может быть, у вас и относительно удержания Привалова на Урале тоже есть своя счастливая мысль?

— Гм... Я удивляюсь одному, что вы так легко смотрите на Привалова и даже не постарались изучить его характер, а между тем — это прежде всего.

— Да Привалова и изучать нечего, — он весь налицо: глуповат и бредит разными пустяками.

— Прибавьте: Привалов очень честный человек.

— Ну и достаточно, кажется.

— Ах, Александр Павлыч, Александр Павлыч. Как вы легко смотрите на вещи, чрезвычайно легко!

— Вы меня считали умнее?

— Да...

— Откровенность за откровенность... Не хотите ли чаю или квасу, Оскар Филипыч? — предлагал Половодов. — Вы устали, а мы еще побеседуем...

Лакей внушительной наружности принес

в кабинет поднос с двумя кружками и несколько бутылок вина; Половодов явился вслед за ним и сам раскупорил бутылку шампанского. Отступив немного в сторону, лакей почтительно наблюдал, как барин сам раскупоривает бутылки; а в это время дядюшка, одержимый своим «любопытством», подробно осмотрел мебель, пощупал тисненые обои цвета кофейной гущи и внимательно перебрал все вещицы, которыми был завален письменный стол. Он переспросил, сколько стоят все безделушки, пресс-папье, чернильница; пересматривал каждую вещь к свету и даже вытер одну запыленную статуэтку своим платком. Половодов охотно отвечал на все вопросы милого дядюшки, но этот родственный обыск снова немного покоробил его, и он опять подозрительно посмотрел на дядюшку; но прежнего смешного дядюшки для Половодова уже не существовало, а был другой, совершенно новый человек, который возбуждал в Половодове чувство удивления и уважения.

— Для чего вы хлопочете, Александр Павлыч, — скромно заметил Оскар Филипыч,

принимая от Половодова бокал с игравшим веселыми искорками вином.

— Для вас, дорогой дядюшка, для вас хлопочу: вы мне открыли глаза, — восторженно заявил Половодов, не зная, чем бы еще угостить дорогого дядюшку. — Я просто мальчишка перед вами, дядюшка... Частицу вашей мудрости — вот чего я желаю! Вы, дядюшка, второй Соломон!..

В половодовском кабинете велась долгая интимная беседа, причем оба собеседника остались, кажется, особенно довольны друг другом, и несколько раз, в порыве восторга, принимались жать друг другу руки.

— Ну-с, Оскар Филипыч, расскажите, что вы думаете о самом Привалове? — спрашивал Половодов, весь покрасневший от выпитого вина.

— Привалов... Гм... Привалов очень сложная натура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно происходит внутренняя борьба... Ведь вместе с правами на наследство он получил много недостатков и слабостей от своих предков Вот для вас эти слабости-то и имеют особенную важность.

— Совершенно верно: Привалов — представитель выродившейся семьи.

— Да, да... И между прочим он унаследовал одну капитальнейшую слабость: это — любовь к женщинам.

— Привалов?!

— О да... Могу вас уверить Вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь женщины всесильны, Александр Павлыч, — уже с улыбкой прибавил дядюшка.

— Понимаю, понимаю, все понимаю!

— Только помните одно: девицы не идут в счет, от них мало толку. Нужно настоящую женщину... Понимаете? Нужно женщину, которая сумела бы завладеть Приваловым вполне. Для такой роли девицы не пригодны с своим целомудрием, хотя бывают и между ними очень умные субъекты.

— Понимаю, понимаю и понимаю, дорогой Оскар Филипыч.

— И отлично! Теперь вам остается только действовать, и я буду надеяться на вашу опытность. Вы ведь пользуетесь успехом у женщин и умеете с ними дела водить, ну вам и книги в руки. Я слышал мельком, что поми-

нали Бахареву, потом дочь Ляховского...

— Послушайте, я вас познакомлю с Ляховским, — перебил Половодов, не слушая больше дядюшки.

— Да, это и необходимо для первого раза... Нам Ляховский пригодится. Он пока затянет дело об опеке...

Таким образом союз между Половодовым и дядюшкой был заключен самым трогательным образом.

— Надеюсь, что мы с вами сойдемся, дорогой дядюшка, — говорил Половодов, провожая гостя до передней.

— О, непременно... — соглашался Оскар Филипыч, надвигая на голову свою соломенную шляпу. — Рука руку моет: вы будете действовать здесь, я там.

Глава 24

Вернувшись к себе в кабинет, Половодов чувствовал, как все в нем было переполнено одним радостным, могучим чувством, тем чувством, какое испытывается только в беззаветной молодости. Даже свой собственный кабинет показался ему точно чужим, и он с улыбкой сожаления посмотрел на окружаю-

щую его обстановку фальшивой роскоши. Эти кофейные обои, эти драпировки на окнах, мебель... как все это было жалко по сравнению с тем, что носилось теперь в его воображении. В его будущем кабинете каждая вещь будет предметом искусства, настоящего, дорогого искусства, которое в состоянии ценить только глубокий знаток и любитель. Какой-нибудь экран перед камином, этажерка для книг, — о, сколько можно сделать при помощи денег из таких ничтожных пустяков!

— А дядюшка-то? Хорош!.. — вслух проговорил Половодов и засмеялся. — Ну, кто бы мог подумать, что в этакой фигурке сидят такие гениальные мысли?!

Половодов походил по своему кабинету, посмотрел в окно, которое выходило в сад и точно было облеплено вьющейся зеленью хмеля и дикого винограда; несколько зеленых веточек заглядывали в окно и словно с любопытством ощупывали своими спиральными усиками запыленные стекла. Распахнув окно, Половодов посмотрел в сад, на аллеи из акаций и тополей, на клумбы и беседки, но это было все не то: он был слишком

взволнован, чтобы любоваться природой. В кабинете Половодову казалось тесно и душно, но часы показывали едва три часа — самое мертвое время летнего дня, когда даже собаки не выбегают на улицу. Чтобы успокоить себя, Половодову нужно было движение, общество веселых людей, а теперь приходилось ждать до вечера. От нечего делать он комфортабельно поместился на горнем месте, придвинул к себе недопитую бутылку шампанского и, потягивая холодное вино, погрузился в сладкие грезы о будущем.

«Это еще ничего — создать известную идею, — думал Половодов, припоминая подробности недавнего разговора с дядюшкой. — Все это в пределах возможности; может быть, я и сам набрел бы на дядюшкину идею объявить этого сумасшедшего наследника несостоятельным должником, но вот теория удержания Привалова в Узле — это, я вам скажу, гениальнейшая мысль. Тут нужен артист своего дела... Да!.. И какой чертовский нюх у этого дядюшки по части психологии... Ха-ха!.. Женщины... И в женщинах знает толк, бестия!.. «Нужно настоящую женщину...» То-

то вот и есть: где ее взять, эту настоящую женщину, в каком-нибудь Узле!.. Нет, это идея... Ха-ха-ха!.. Клади на ноты и разыгрывай...»

Потягивая вино, Половодов перебирал всех известных ему женщин и девиц, которые как-то не удовлетворяли требованиям предстоящей задачи. «Нет, это все не то...» — думал Половодов с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти ряд знакомых женских лиц... «Сестры Бахаревы, Алла, Анна Павловна, Аня Пояркова... черт знает, что это за народ: для чего они живут, одеваются, выезжают, — эти жалкие создания, не годные никуда и ни на что, кроме замужества, которым исчерпываются все их цели, надежды и желания. Тьфу!.. Разве в состоянии их птичьи головки когда-нибудь возвыситься до настоящей идеи, которая охватывает всего человека и делает его своим рабом. Привалов, кажется, ухаживает за старшей Бахаревой, но из этого едва ли что-нибудь выйдет, потому что он явился немного поздно для этого в Узел... Вот Зося Ляховская, та, конечно, могла выполнить и не такую задачу, но ее просто немыслимо привя-

зать к такому делу, да притом в последнее время она какая-то странная стала, совсем кислая». «А может быть, Зося еще пригодится когда-нибудь, — решил Половодов про себя, хрустя пальцами. — Только вот это проклятое девичество все поперек горла стоит». Дальше Половодов задумался о дамах узловского полусвета, но здесь на каждом шагу просто была мерзость, и решительно ни на что нельзя было рассчитывать. Разве одна Катя Колпакова может иметь еще временный успех, но и это сомнительный вопрос. Есть в Узле одна вдова, докторша, шустрая бабенка, только и с ней каши не сваришь. «Ну, да это пустяки: было бы болото — черти будут, — утешал себя Половодов; он незаметно для себя пил вино стакан за стаканом и сильно опьянел. — А вот дядюшка — это в своем роде восьмое чудо света... Ха-ха-ха!.. Перл...»

Половодов, припоминая смешного дядюшку, громко хохотал и вслух разговаривал сам с собой. Такая беседа один на один и особенно странный смех донеслись даже до гостиной, через которую проходила Антонида Ивановна в белом пеньюаре из тонкого батиста.

— Кто у барина? — спросила она лакея.

— Никого нет-с...

— Как никого? Я сейчас слышала, как там разговаривают и хохочут.

— Это они одни-с...

— Что за вздор!.. — проворчала Антонида Ивановна и отправилась сама в кабинет.

— Можно войти? — спросила она, приотворяя слегка дверь.

— Можно, можно...

Антонида Ивановна вошла, оглядела пустой кабинет и только теперь заметила на себе пристальный мутный взгляд мужа.

— Кто это здесь сейчас разговаривал и хохотал? — довольно строго спросила она мужа.

— Да я, Тонечка... Ох-ха-ха!.. Уморил меня этот... этот дядюшка... Представь себе...

— По этому случаю, вероятно, ты и нарезался, как сапожник?..

Пока Антонида Ивановна говорила то, что говорят все жены подгулявшим мужьям, Половодов внимательно рассматривал жену, ее высокую фигуру в полном расцвете женской красоты, красивое лицо, умный ленивый взгляд, глаза с поволокой. Право, она была

красива сегодня, и в голове Половодова мелькнула собственная счастливая мысль: чего искать необходимую для дела женщину, когда она стоит перед ним?.. Да, это была та самая женщина, о которой он сейчас думал. Белый пеньюар Антониды Ивановны у самой шеи расстегнулся на одну пуговицу, и среди рюша и прошивок вырезывался легкими ямочками конец шеи, где она срасталась с грудью; только на античных статуях бывает такая лепка бюста. Половодов знал толк в пластике и любовался теперь женой глазами настоящего артиста.

— Тонечка... женщина... — заговорил он, порываясь встать с своего горнего места.

Антонида Ивановна полупрезрительно посмотрела на пьяного мужа и молча вышла из комнаты. Ей было ужасно жарко, жарко до того, что решительно ни о чем не хотелось думать; она уже позабыла о пьяном хохотавшем муже, когда вошла в следующую комнату.

Глава 25

После своего визита к Половодову Привалов хотел через день отправиться к Ляхов-

скому. Не побывав у опекунов, ему неловко было ехать в Шатровские заводы, куда теперь его тянуло с особенной силой, потому что Надежда Васильевна уехала туда. Эта последняя причина служила для Привалова главной побудительной силой развязаться поскорее с неприятным визитом в старое приваловское гнездо.

Часов в десять утра Привалов был совсем готов и только выжидал еще полчаса, чтобы ехать прямо к Половодову. Когда он уже надевал перчатки, в комнату ворвался Виктор Васильич в своей табачной визитке.

— Ну, вот и отлично! — обрадовался молодой человек, оглядывая Привалова со всех сторон. — Значит, едем? Только для чего ты во фрак-то вытянулся, братец... Испугаешь еще добрых людей, пожалуй. Ну, да все равно, едем.

— Да куда едем-то? — удивился Привалов.

— Как куда? Вот это мило с твоей стороны... Целая неделя прошла, а он и глаз не кажет, да еще спрашивает: «куда!» Эх, ты... Ну, да я на тебя не сержусь, а приехал специально за тобой потому, что послала мамка. А то

бы мне наплевать на тебя совсем... Ей-богу! Дуйся, как мышь на крупу... Экая важность, что тятенька тебе голову намылил: ведь я не сержусь же на него, что он мне и на глаза не велел к себе показываться. Нисколько. А почему? Отец, конечно, умный человек, поумнее нас с тобой; если разобрать, так он все-таки старик, да еще и больной старик... То-то вот ты и есть Еруслан Лазаревич! Мама ждала-ждала, а потом и послала за тобой. «Уж не болен ли, говорит, Сереженька с дороги-то, или, может, на нас сердится...» А я ей прямо так и сказал: «Вздор, за задние ноги приволоку тебе твоего Сереженьку...» Нет, кроме шуток, едем поскорее, мне, право, некогда.

— Я и сам думал заехать к вам.

— Ну, брат, не ври, меня не проведешь, боишься родителя-то? А я тебе скажу, что совершенно напрасно. Мне все равно, какие у вас там дела, а только старик даже рад будет. Ей-богу... Мы прямо на маменькину половину пройдем. Ну, так едешь, что ли? Я на своей лошади за тобой приехал.

— С удовольствием.

— Только сними свой фрак, а то всех на со-

мнение наведешь: чучело чучелом в своем фраке. Ты уж меня извини...

Привалов переменил фрак на сюртук и все время думал о том, что не мистифицирует ли его Виктор Васильич.

— А я тебе вот что скажу, — говорил Виктор Васильич, помещаясь в пролетке бочком, — если хочешь угодить маменьке, заходи попросту, без затей, вечерком... Понимаешь — по семейному делу. Мамынька-то любит в преферанс сыграть, ну, ты и предложи свои услуги. Старуха без ума тебя любит и даже похудела за эти дни.

— Я на днях уезжаю на заводы, — заметил Привалов, когда они уже подъезжали к бахаревскому дому.

— Вздор! Зачем тебе туда? Надя была там и может тебе рассказать, что все обстоит благополучно... Обожди с месяц, а там я с тобой могу вместе ехать.

— Разве Надежда Васильевна вернулась?

— Конечно, вернулась... Не буду же я тебя обманывать.

Марья Степановна встретила Привалова со слезами на глазах и долго пеняла ему, зачем

он забыл их.

— Ну, к отцу не хочешь ехать, ко мне бы заглянул, а уж я тут надумалась о тебе. Кабы ты чужой был, а то о тебе же сердце болит... Вот отец-то какой у нас: чуть что — и пошел...

— Я ни в чем не обвиняю Василия Назарыча, — говорил Привалов, — и даже не думал обидеться на него за наш последний разговор. Но мне, Марья Степановна, было слишком тяжело все это время...

— Знаю, что тяжело, голубчик. Тебе тяжело, а мне вдвое, потому что приехал ты на родную сторону, а тебя и приголубить некому. Вот нету матери-то, так и приласкать некому... Бранить да началить всегда мастера найдутся, а вот кто пожалеет-то?

Эти простые слова растрогали Привалова, и он с особенным чувством поцеловал руку у доброй старухи. Прежнее теплое чувство охватило его, и он опять был не один, как за несколько минут перед этим. Половина Марьи Степановны на этот раз показалась ему особенно уютной — все в ней дышало такой патриархальной простотой, начиная со старинной мебели и кончая геранью на окнах.

Привалов невольно припомнил обстановку Агриппины Филипьевны и Половодова, где все дышало фальшивой официальной роскошью, все было устроено напоказ.

— А ведь я чего не надумалась здесь про тебя, — продолжала Марья Степановна, усаживая гостя на низенький диванчик из карельской березы, — и болен-то ты, и на нас-то на всех рассердился, и бог знает какие пустяки в голову лезут. А потом и не стерпела: дай пошлю Витю, ну, и послала, может, помешала тебе?

— Нет, зачем же...

— У Ляховского-то тогда был?

— Нет.

— Я так и думала: до Ляховского ли. Легкое ли место, как отец-то наш тогда принял тебя... Горяч он стал больно: то ли это от болезни его, или годы уж такие подходят... не разберу ничего.

Досифея подала самовар и радостно замычала, когда Привалов заговорил с ней. Объяснив при помощи знаков, что седой старик с большой бородой сердится, она нахмурила брови и даже погрозила кулаком на половину

Василия Назарыча. Марья Степановна весело смеялась и сквозь слезы говорила:

— Ну, ну, Досифеюшка, не сердись... Нам наплевать на старика с седой бородой; он сам по себе, мы сами по себе. — Но немая не унималась и при помощи мимики очень красноречиво объясняла, что седой старик и Костю не любит, что он сердитый и нехороший. Марья Степановна заварила чай в старинном чайнике с какими-то необыкновенными цветами и, расставляя посуду, спрашивала:

— А ты у Половодова-то был?

— Да, был на днях.

— Весело было, чай? Ведь он ух какой краснобай и дошлый-предошлый, даром что на селедку походит... И жену видел?

— И жену видел.

— Приглянулась?

— Д-да... очень красивая женщина. Впрочем, я хорошенько не рассмотрел ее.

— Уж не ври, пожалуйста, — с улыбкой заметила старушка и посмотрела на Привалова прищуренными глазами; она хотела по выражению его лица угадать произведенное на него Антонидой Ивановной впечатление.

«Врет», — решила она про себя, когда Привалов улыбнулся.

Антонида Ивановна, по мнению Бахаревой, была первой красавицей в Узле, и она часто говорила, покачивая головой: «Всем взяла эта Антонида Ивановна, и полнотой, и лицом, и выходкой!» При этом Марья Степановна каждый раз с коротким вздохом вспоминала, что «вот у Нади, для настоящей женщины, полноты недостает, а у Верочки кожа смуглая и волосы на руках, как у мужчины».

— Ну рассказывай, чем тебя угощала Антонида-то Ивановна, — допрашивала старушка своего гостя.

Привалов рассказал, как умел, про половодовский обед.

— В саду обедали-то, говоришь?

— В саду...

— Это уж, видно, твоему поверенному жарко стало... Уж и нашел себе поверенного, нечего сказать!..

— А чем он плох, Марья Степановна?

— Да я его не хаю, голубчик, может, он и хороший человек для тебя, я так говорю. Вот все с Виктором Васильичем нашим хорово-

дится... Ох-хо-хо!.. Был, поди, у Веревкиных-то?

— Был. Заезжал с Николаем Иванычем, чтобы вместе ехать к Половодову.

— Так... Когда вот я про этих Веревкиных вспомню, чудно мне делается: в кого у них детки уродились. Мать — немка, хоть и говорит с Хиной по-французскому; отец на дьячка походит, а вот — взять хоть ту же Антониду Ивановну, — какую красоту вырастили!.. Или тоже взять Николая Иваныча: издалека на него поглядеть — так чисто из нашего купеческого звания паренек, ей-богу!.. Только я его боюсь, твоего поверенного: как вытаращит глаза на тебя, запыхтит... Больно уж, говорят, дерзко он суд ведет, ну, и тоже такая гуляка, что не приведи истинный Христос. Ты, смотри, не больно с ним путайся.

За чайным столом скоро собралась вся семья. Надежда Васильевна показалась сегодня Привалову особенно веселой. Она рассказывала о своей поездке в Шатровский завод, о том, как Костя ждет Привалова, и т. д. Виктор Васильич и Верочка по обыкновению дурачились, несмотря на самые строгие взгляды Ма-

рьи Степановны.

— Мы вместе с Сергеем Александрычем поедем в Шатрово, — заявлял Виктор Васильич.

— Левизором, что ли? — насмешливо спрашивала Марья Степановна. — То-то, поди, Костя соскучился по тебе, ждет не дождется...

— Нужно еще сначала спросить Сергея Александрыча, возьмет ли он тебя с собой, — добавила Верочка, гремя чайной ложкой.

— Ну, ты, радуга, разве можешь что-нибудь понимать? — огрызался Виктор Васильич.

Чтобы окончательно развеселить собравшееся за чаем общество, Виктор Васильич принялся рассказывать какой-то необыкновенный анекдот про Ивана Яковлича и кончил тем, что Марья Степановна не позволила ему досказать все до конца, потому что весь анекдот сводился на очень пикантные подробности, о которых было неудобно говорить в присутствии девиц.

— Ну, не буду, не буду... — согласился Виктор Васильич. — Я как-нибудь после Сергею Александрычу доскажу одному. Где эти кислые барышни заведутся, и поговорить ни о

чем нельзя. Вон Зося, так ей все равно: рассказывай, что душе угодно.

— Да не ври ты, ради истинного Христа, — упрашивала Марья Степановна. — Так она тебя и стала слушать! Не из таких девка-то, с ней говори, да откусывай...

— Мама, да Зося никогда и не говорит с Витей, — вмешалась в разговор Верочка. — Ведь он ей только подает калоши да иногда сбегает куда-нибудь по ее поручению...

— А ты когда же это к Ляховскому-то поедешь? — обратилась Марья Степановна к Привалову. — Долго уж больно что-то собираешься... Тоже вот на заводы не едешь.

— Тихий воз будет на горе, — с улыбкой отвечал Привалов.

Глава 26

— Ужо заходи как-нибудь вечерком, — говорила Привалову Марья Степановна, когда он уходил.

— С особенным удовольствием, — отозвался Привалов, припоминая совет Виктора Васильича относительно преферанса.

— Ну, там как знаешь, — с удовольствием или без удовольствия. Скушно покажется со

старухами-то сидеть? Не больно у нас веселья-то много... Ничего, поскучай.

Но вечера в бахаревском доме Привалову совсем не показались скучными, а наоборот, он считал часы, когда ему можно было отправиться в бахаревское гнездо.

Всех больше вечерними визитами Привалова была довольна Верочка, хотя на ее долю от этих визитов перепадало очень немного. Этой практической девушке больше всего нравилось то, что в их доме появился наконец настоящий мужчина со всеми признаками жениха. Раньше эти вечера были скучны до тошноты, потому что на половине Марьи Степановны собиралось только исключительно женское общество, да и какое общество: приплетется старуха Размахнина, придет Павла Ивановна со своими бесконечными кружевами, иногда навернется еще какая-нибудь старушка — вот и все. Попьют чайку, побеседуют и усядутся за карточный стол играть в преферанс. Если, кроме Павлы Ивановны, никого не было, усаживали играть Верочку, которая страшно скучала и потихоньку зевала в руку. Появление Хины среди такого

мертвого вечера было целым событием, и Верочка по-детски заглядывала ей прямо в рот, откуда, как сухой горох из прорванного мешка, неудержимо сыпались самые удивительные новости. Даже старицам, начетчицам, странницам и разным божьим старушкам Верочка всегда была рада, потому что вместе с ними на половину Марьи Степановны врывалась струя свежего воздуха, приносившая с собой самый разнообразный запас всевозможных напастей, болей и печалей, какими изнывал мир за пределами бахаревского дома.

Василий Назарыч половину года проводил на приисках, а другую половину почти все вечера у него были заняты кабинетной работой или визитами разных нужных людей. Про Виктора Васильича и говорить нечего: с наступлением сумерек он исчезал из дому с замечательною аккуратностью и возвращался только утром. Надежда Васильевна вечером тоже редко показывалась на половине Марьи Степановны, потому что обыкновенно в это время занималась у себя в комнате, — «читала в книжку», как говорила про нее Марья

Степановна. Таким образом, появление Привалова перевернуло вверх дном вечернюю жизнь на половине Марьи Степановны и оживило ее лихорадочной деятельностью сравнительно с прежним. Павла Ивановна появлялась аккуратно каждый день, когда приходил Привалов, и втроем они усаживались за бесконечный преферанс. По требованию Марьи Степановны, Надежда Васильевна обязана была оставлять свое «чтение в книжку» и тоже принимать участие в преферансе или занимать гостя разговором.

— Да о чем же я с ним буду разговаривать? — спрашивала Надежда Васильевна. — Разговаривать на заказ очень трудно.

— Ладно, ладно... с другими умеешь разговаривать, а тут и языка не стало.

— С какими другими?

— Ну, у Ляховских своих, поди, говоришь тоже... Ведь не в молчанку же там играют...

— У Ляховских, мама, в преферанс не играют, а говорят, когда хочется и что хочется.

— Не мудри, говорю. Вот к Хине не хочешь ехать с визитом...

— Вы знаете, почему я не еду к ней.

Марья Степановна после размолвки Василия Назарыча с Приваловым почти совсем упала духом относительно своих заветных планов; Привалов не казал к ним глаз, Надежда Васильевна ни за что не хотела ехать к Хине, — одним словом, выходило так, что Привалов совсем попался в ловкие руки одной Хины, которая не преминет воспользоваться всеми выгодами своего исключительного положения. Вот в этот критический момент Марья Степановна и решилась обойтись совсем без Хины и повести дело вполне самостоятельно. Теперь она была наверху блаженства, потому что, очевидно, Привалов с особенным удовольствием проводил у них вечера и заметно искал случая поговорить с Надеждой Васильевной. Марья Степановна каждый раз замечала, что присутствие дочери оживляло Привалова и он украдкой часто посматривал на нее.

— Устрой, господи, все на пользу! — шептала иногда Павла Ивановна, когда оставалась одна с Марьей Степановной.

— Мудрено что-то, — вздыхала Марья Степановна. — Не пойму я этого Сережу... Нету в

нем чего-то, характеру недостает: собирается-собирается куда-нибудь, а глядишь — попал в другое место. Теперь вот тоже относительно Нади: как будто она ему нравится и как будто он ее даже боится... Легкое ли место — такому мужчине какой-нибудь девчонки бояться! И она тоже мудрит над ним... Я уж вижу ее насквозь: вся в родимого батюшку пошла, слова спросту не молвит.

— Девичье дело, Марья Степановна... Нынче образованные да бойкие девицы пошли, не как в наше время. Ну, у них уж все по-своему и выходит.

— Выходит, да не больно... В наше время жених-то приехал в дом, поглядел невесту издальки, а потом тебе и свадьба. А нынче: тянут-тянут, ходят-ходят, говорят-говорят по-умному-то, а глядишь — дело и рассохлось, да и время напрасно пропало.

После одного очень скучного преферанса, когда Марья Степановна вышла из комнаты, чтобы отдать Досифее какое-то распоряжение по хозяйству, Надежда Васильевна пытливо и внимательно посмотрела на Привалова и потом спросила:

— Неужели вам нравится играть в карты?

— Да.

— Не может быть. Вы просто хотите угодить маме и, вероятно, скучаете страшно.

— Наоборот: я так люблю эту мирную обстановку в вашем доме и ничего не желал бы лучшего.

Девушка с недоверием посмотрела на Привалова и ничего не ответила. Но в другой раз, когда они остались вдвоем, она серьезно спросила:

— В прошлый раз вы сказали, что вам очень нравится наша мирная обстановка, — это серьезно было сказано?

— Совершенно серьезно.

— А вы не чувствуете никаких диссонансов, какими пропитана эта мирная обстановка?

— Я хорошенько не понимаю, что вы хотите этим сказать...

Надежда Васильевна на минуту задумалась и, по-видимому, колебалась высказать свою мысль, но, взглянув Привалову в глаза, она тихо проговорила:

— Да везде эти диссонансы, Сергей Алек-

сандрыч, и вы, кажется, уже испытали на себе их действие. Но у отца это прорывается минутами, а потом он сам раскаивается в своей горячности и только из гордости не хочет открыто сознаться в сделанной несправедливости. Взять хоть эту историю с Костей. Вы знаете, из-за чего они разошлись?

— Да, кажется, из-за того же, из-за чего произошла и наша размолвка, то есть из-за приисков.

— С той разницей, что вы и Костя совершенно иначе высказались по поводу приисков: вы не хотите быть золотопромышленником потому, что считаете такую деятельность совершенно непроизводительной; Костя, наоборот, считает золотопромышленность вполне производительным трудом и разошелся с отцом только по вопросу о приисковых рабочих... Он рассказывает ужасные вещи про положение этих рабочих на золотых промыслах и прямо сравнил их с каторгой, когда отец настаивал, чтобы он ехал с ним на прииски.

— Но ведь положение приисковых рабочих можно улучшить — это зависит уже от

самих золотопромышленников.

— В том-то и дело, что Костя доказывает совершенно противное, то есть что если обставить приисковых рабочих настоящим образом, тогда лучшие прииски будут давать предпринимателям одни убытки. Они поспорили горячо, и Костя высказался очень резко относительно происхождения громадных богатств, нажитых золотом. Тут досталось и вашим предкам отчасти, а отец принял все на свой счет и ужасно рассердился на Костю.

— А по-вашему. Надежда Васильевна, прав Костя или нет?

— И прав и нет. Прав в том отношении, что действительно наше, например, богатство создано потом и кровью добровольных каторжников. Это с одной стороны, а с другой — Костя, по-моему, не прав. Именно, он забывает то, что отец вырос и состарился в известных взглядах, отнестись к которым критически он решительно не в состоянии. Затем, специально для отца золотопромышленность освящена гуляевскими и приваловскими преданиями, и, наконец, сам он фанатик своего дела, на которое смотрит как на

священнодействие, а не как на источник личного обогащения. Вот вам первый диссонанс нашей мирной обстановки, — закончила Надежда Васильевна свою речь с немного грустной улыбкой. — Мы живем паразитами, и от нашего богатства пахнет кровью тысяч бедняков... Согласитесь, что одно сознание такой истины в состоянии отравить жизнь.

— Вы замечательно смело рассуждаете... — задумчиво проговорил Привалов. — И знаете, я тысячу раз думал то же, только относительно своего наследства... Вас мучит одна золотопромышленность, а на моей совести, кроме денег, добытых золотопромышленностью, большою тяжестью лежат еще заводы, которые основаны на отнятых у башкир землях и созданы трудом приписных к заводам крестьян.

— Да... Но у вас есть выход: вы можете выплавить свой долг в той или другой форме. А вот другое дело, когда мы будем рассматривать нашу частную жизнь, наше миросозерцание, наши нравственные понятия, стремления и желания... Вот я именно поэтому и заговорила с вами о диссонансах. Возьмите, на-

пример, хоть наше раскольничество: что осталось от того, за что люди умирали сотнями, выносили пытки, изгнание и скитались по лесам, как звери?.. Решительно ничего, кроме мертвой формы и кой-каких обрядов. И этим буквоедством пропитана вся жизнь! Вы посмотрите, как мы относимся к другим! Сколько самой грубой фальши!.. А самое скверное то, что мы этой фальшью покупаем себе полное спокойствие совести.

Надежда Васильевна очень горячо развила свою основную мысль о диссонансах, и Привалов с удивлением смотрел на нее все время: лицо ее было залито румянцем, глаза блестели, слова вырывались неудержимым потоком.

— Скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, только одно, — спрашивал Привалов, — когда и как вы успели передумать столько?

— Вы хотите сказать: кто меня научил всему этому? О, это очень длинная история... Отчасти виноват Костя, потом доктор Сараев, у которого я училась вместе с Зосей Ляховской; наконец, приходилось читать кое-что...

Привалов видел, что девушке что-то хотелось ему досказать, но она удержалась.

Несколько таких разговоров быстро сблизили Привалова и Надежду Васильевну, между ними выросла та невидимая связь, которая не высказывалась словами, а только чувствовалась. Привалов увидел девушку совершенно в новом для него свете: она тяготилась богатой обстановкой, в которой приходилось жить, всякой фальшивой нотой, которых так много звучало в жизни бахаревского дома, наконец, своей бездеятельной, бесполезной и бесцельной ролью богатой невесты. Часто они с радостью открывали, что думали об одних и тех же вопросах, мучились теми же сомнениями и нередко приходили к одним результатам. Для Привалова не оставалось никакого сомнения, что Надежда Васильевна живет в отцовском доме только внешним образом, а ее душа принадлежит другому Миру и другим людям. Иногда девушка выражалась слишком резко о самых близких людях, и Привалов не мог не чувствовать, что она находится под чьим-то исключительным, очень сильным влиянием и многого не досказыва-

ет.

В свою очередь, Привалов очень подробно рассказывал о своих планах на будущее. На Шатровские заводы он смотрел, как на свой исторический долг, который обязан выплатить сорокатысячному заводскому населению и башкирам. В какой форме он это сделает, — пока для него еще не ясно, и придется действовать сообразно указаниям опыта. Только в этих видах он и хлопочет о своем наследстве, от которого даже не вправе отказаться. Но прежде чем можно будет приступить к выполнению этих планов, необходимо очистить заводы от государственного долга, что займет, может быть, период времени лет в десять.

— Относительно опеки и государственного долга Костя будет с вами совершенно согласен, — говорила Надежда Васильевна, — но относительно ваших планов погашения исторического долга вы встретите в нем мало сочувствия.

— Почему вы так думаете?

— Да по всему: у вас просто сердце не лежит к заводскому делу, а Костя в этом отно-

шении фанатик. Он решительно и знать ничего не хочет, кроме заводского дела.

Привалов подробно объяснил, что промышленность в Европе и у нас пользуется совсем незаслуженным покровительством государства и даже науки и всем своим гнетом ложится на основной источник народного благосостояния — на земледелие. Эта истина особенно справедлива для России, которая надолго еще останется земледельческой страной по преимуществу. С этой точки зрения русские горные заводы, выстроенные на даровой земле крепостным трудом, в настоящее время являются просто язвой в экономической жизни государства, потому что могут существовать только благодаря высоким тарифам, гарантиям, субсидиям и всяким другим льготам, которые приносят громадный вред народу и обогащают одних заводчиков.

— Теперь я понимаю, — говорила Надежда Васильевна. — Мне кажется, что папа просто не понял вас тогда и согласится с вами, когда хладнокровно обсудит все дело.

— Нет, я на это не надеюсь, Надежда Васильевна.

— Почему так?

— Да так... Существует что-то вроде фатализма: люди, близкие друг другу по духу, по складу ума, по стремлениям и даже по содержанию основных идей, расходятся иногда на всю жизнь из-за каких-либо глупейших пустяков, пустой фразы, даже из-за одного непонятого слова.

— Значит, вы не верите в возможность разумно устранять такие пустяки, которые стоит только выяснить?

— Как вам сказать: и верю и не верю... Пустяки в нашей жизни играют слишком большую роль, и против них иногда мы решительно бессильны. Они опутывают нас по рукам и по ногам, приносят массу самых тяжелых огорчений и служат неиссякаемым источником других пустяков и мелочей. Вы сравните: самый страшный враг — тот, который подавляет нас не единичной силой, а количеством. В тайге охотник бьет медведей десятками, — и часто делается жертвой комаров. Я не отстаиваю моей мысли, я только высказываю мое личное мнение.

Девушка задумалась. Она сама много раз

думала о том, что сейчас высказал Привалов, и в ее молодой душе проснулся какой-то смутный страх перед необъятностью житейских пустяков.

— Действительно, эти мелочи просто заедают нас, — согласилась она. — Но ведь есть же средства против них?

— И есть и нет, глядя по человеку.

У Бахаревых Привалов познакомился с доктором Сараевым, который по вечерам иногда заезжал навестить Василия Назарыча. Это был плотный господин лет под пятьдесят, широкий в плечах, с короткой шеей и сильной проседью в гладко зачесанных темных волосах и такой же бородке. Для своих лет доктор сохранился очень хорошо, и только лицо было совершенно матовое, как у всех очень нервных людей; маленькие черные глаза смотрели из-под густых бровей пытливо и задумчиво. Ходил доктор торопливой, неслышной походкой, жал крепко руку, когда здоровался, и улыбался одинаково всем стереотипной докторской улыбкой, которую никто не разберет.

— Мой учитель и друг, — рекомендовала

Надежда Васильевна доктора Привалову. — Борис Григорьич помнит вас, когда вы были еще гимназистом.

— Я тоже не забыл вас, Борис Григорьич, — отвечал Привалов, — и сейчас бы узнал, если бы встретил вас.

— А я так не скажу этого, — заговорил доктор мягким грудным голосом, пытливо рассматривая Привалова. — И не мудрено: вы из мальчика превратились в взрослого, а я только поседел. Кажется, давно ли все это было, когда вы с Константином Васильичем были детьми, а Надежда Васильевна крошечной девочкой, — между тем пробежало целых пятнадцать лет, и нам, старикам, остается только уступить свое место молодому поколению.

— Вы, доктор, сегодня, кажется, не в духе? — с улыбкой спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет, я только констатирую факт; это одна из тех старых историй, которые останутся вечно новыми.

Привалов с особенным вниманием слушал доктора. Он хотел видеть в нем того учителя, под влиянием которого развилась Надежда

Васильевна, но, к своему сожалению, он не нашел того, чего искал.

— Как вы нашли доктора? — спрашивала Надежда Васильевна, когда доктор уехал. — Он произвел на вас неприятное впечатление своей вежливостью и улыбками? Уж это его неисправимый недостаток, а во всем остальном это замечательный, единственный человек. Вы полюбите его всей душой, когда узнаете поближе. Я не хочу захваливать его вперед, чтобы не испортить вашего впечатления...

Глава 27

Как Привалов ни откладывал своего визита к Ляховскому, ехать было все-таки нужно, и в одно прекрасное утро он отправился к Половодову, чтобы вместе с ним ехать к Ляховскому. Половодова не было дома, и Привалов хотел вернуться домой с спокойной совестью, что на этот раз уж не он виноват.

— Сергей Александрыч, куда же вы так бежите? — окликнул его голос Антониды Ивановны. — Александр Павлыч сейчас должен вернуться.

Антонида Ивановна стояла в дверях гости-

ной в голубом пеньюаре со множеством прошивок, кружев и бантиков. Длинные русые волосы были ловко собраны в домашнюю прическу; на шее блестела аметистовая нитка. Антонида Ивановна улыбалась и слегка щурила глаза, как это делают театральные ingenues.

— Вы, вероятно, испугались перспективы провести со мной скучных полчаса? Теперь вы искупите свою вину и неделикатность тем, что проскучаете со мной целый час... Да, да, Александр просил сейчас же известить его, как вы приедете, — он теперь в своем банке, — а я нарочно пошлю за ним через час. Что, испугались?

Антонида Ивановна весело засмеялась и провела Привалова в маленькую голубую гостиную в неизменном русском вкусе. Когда проходили по залу, Привалов заметил открытое фортепьяно и спросил:

— Я, кажется, помешал вам, Антонида Ивановна?

— Нет, это пустяки. Я совсем не умею играть... Вот садитесь сюда, — указала она кресло рядом с своим. — Рассказывайте, как про-

водите время. Ах да, я третьего дня, кажется, встретила вас на улице, а вы сделали вид, что не узнали меня, и даже отвернулись в другую сторону. Если вы будете оправдываться близорукостью, это будет грешно с нашей стороны.

— Помилуйте, Антонида Ивановна, — мог только проговорить Привалов, пораженный необыкновенной любезностью хозяйки. — Я хорошо помню улицу, по которой действительно проходил третьего дня, но вашего экипажа я не заметил. Вы ошиблись.

— Нет, не ошиблась.

— По крайней мере, назовите мне улицу, на которой вы меня встретили.

— Ах, какой хитрый... — кокетливо проговорила Половодова, хлопая по ручке кресла. — Вы хотите поймать меня и обличить в выдумке? Нет, успокойтесь: я встретила вас в конце Нагорной улицы, когда вы подходили к дому Бахаревых. Я, конечно, понимаю, что ваша голова была слишком занята, чтобы смотреть по сторонам.

— Именно?

— Нет, это я так болтаю, Сергей Алексан-

дрыч. Третьего дня у меня болели зубы, и я совсем не выходила из дому.

В этой болтовне незаметно пролетел целый час. Привалов заразился веселым настроением хозяйки и смеялся над теми милыми пустяками, которые говорят в таких хорошеньких гостиных. Антонида Ивановна принесла альбом, чтобы показать карточку Зоси Ляховской. В момент рассматривания альбома, когда Привалов напрасно старался придумать что-нибудь непременно остроумное относительно карточки Зоси Ляховской, в гостиной послышались громкие шаги Половодова, и Антонида Ивановна немного отодвинулась от своего гостя.

— Это мой узник, — объяснила Антонида Ивановна мужу, показывая глазами на Привалова. — Представь себе, когда Сергей Александрыч узнал, что тебя нет дома, он хотел сейчас же незаметным образом скрыться. В наказание я заставила его проскучать целый час в моем обществе...

— Ваше положение действительно было критическое, — весело говорил Половодов, целуя жену в лоб. — Я не желал бы быть на

вашем месте.

— Нет, я с большим удовольствием провел время, — уверял Привалов.

— Чтобы хоть чем-нибудь утешить Сергея Александрыча, я показала ему карточку mademoiselle Ляховской, — объясняла Антонида Ивановна, блестя глазами.

— И отлично, — соглашался Половодов. — Теперь нам остается только перейти, то есть, вернее сказать, переехать от фотографии к оригиналу Тонечка, ты извини нас с Сергеем Александрычем мы сейчас отправляемся к Ляховскому.

— Знаю, знаю...

— А ведь я думал, что вы уже были у Ляховского, — говорил Половодов на дороге к передней. — Помилуйте, сколько времени прошло, а вы все не едете. Хотел сегодня сам ехать к вам.

— Ах, какой ты, Александр, недогадливый, — лукаво говорила Антонида Ивановна. — Сергей Александрыч был занят все время...

Половодов прикинулся, что не понимает намека, а Привалов испытывал какое-то глу-

по-приятное чувство. На пороге Половодов еще раз поцеловал жену, и эта картина семейного счастья могла тронуть даже каменное сердце. Никто бы, конечно, не подумал, что такой поцелуй являлся только одной нотой в той пьесе, которая разыгрывалась счастливыми супругами. Нужно заметить, что пьеса не была каким-нибудь грубым заговором, а просто после известной уже читателям утренней сцены между супругами последовало молчаливое соглашение. И, странная вещь, после своего визита к maman, которая, конечно, с истинно светским тактом открыла глаза недоумевавшей дочери, Антонида Ивановна как будто почувствовала большее уважение к мужу, потому что и в ее жизни явился хоть какой-нибудь интерес.

Глава 28

Приваловский дом стоял на противоположном конце той же Нагорной улицы, на которой был и дом Бахарева. Он занимал собой вершину горы и представлялся издали чем-то вроде старинного кремля. Несколько громадных белых зданий с колоннами, бельведерами, балконами и какими-то странной формы

куполами выходили главным фасадом на небольшую площадь, а великолепными воротами, в форме триумфальной арки, на Нагорную улицу. Непосредственно за главным зданием, спускаясь по Нагорной улице, тянулся целый ряд каменных пристроек, тоже украшенных колоннами, лепными карнизами и арабесками. Сквозные железные ворота открывали вид на широкий двор, со всех сторон окруженный каменными службами, конюшнями, великолепной оранжереей. Это был целый замок в помещичьем вкусе; позади зеленел старинный сад, занимавший своими аллеями весь спуск горы. Привалова поразила та же печальная картина запустения и разрушения, какая постигла хоромины Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Дом представлял из себя великолепную развалину: карнизы обвалились, крыша проржавела и отстала во многих местах от стропил целыми полосами; массивные колонны давно облупились, и сквозь отставшую штукатурку выглядывали обсыпавшиеся кирпичи; половина дома стояла незанятой и печально смотрела своими почерневшими окнами без рам и сте-

кол. Видно было, что крыша в некоторых местах была покрыта свежей краской и стены недавно выбелены. Единственным живым местом во всем доме была та половина, которую занимал Ляховский, да еще большой флигель, где помещалась контора; оранжерея и службы были давно обращены в склады водки и спирта. У Привалова сердце сжалось при виде этой развалины: ему опять страшно захотелось вернуться обратно в свои три комнатки, чтобы не видеть этой картины разрушения. Когда коляска Половодова с легким треском подкатила к шикарному подъезду, массивная дубовая дверь распахнулась, и на пороге показалась усатая улыбающаяся физиономия швейцара Пальки.

— Игнатий Львович дома? — спрашивал Половодов, взбегая на лестницу по ступенькам в темную переднюю.

— Дома, — почтительно вытянувшись, докладывал Палька. Это был целый гайдук в три аршина ростом, с упитанной физиономией, во вкусе старинного польского холопства.

Передняя походила на министерскую приемную: мозаичный мраморный пол, покры-

тый мягким ковром; стены, отделанные под дуб; потолок, покрытый сплошным слоем сквозных арабесок, и самая роскошная лестница с мраморными белыми ступенями и массивными бронзовыми перилами. По бокам лестницы тянулась живая стена из экзотических растений, а внизу, на мраморных пьедесталах, покоились бронзовые тритоны с поднятыми кверху хвостами, поддерживая малюток-амуров, поднимавших кверху своими пухлыми ручонками тяжелые лампы с матовыми шарами.

— У них Альфонс Богданыч, — предупредил Палька, помогая Половодову и Привалову освободиться от верхних пальто.

— Ничего... Альфонс Богданыч — главный управляющий Ляховского, — объяснил Половодов Привалову, когда они поднимались по лестнице.

Привалов издали еще услышал какой-то странный крик, будто где-нибудь ссорились бабы; крикливые, высокие ноты так и лезли в ухо. Заметив вопросительный взгляд Привалова, Половодов с спокойной улыбкой проговорил:

— Самая обыкновенная история: Игнатий Львович ссорится со своим управляющим... Ха-ха!.. Это у них так, между прочим; в действительности они жить один без другого не могут.

Когда они поднялись на вторую площадку лестницы, Половодов повернул к двери, которая вела в кабинет хозяина. Из-за этой двери и неслись крики, как теперь явственно слышал Привалов.

— Пожалуйте, Сергей Александрыч, — проговорил Половодов, распахнув дверь в кабинет.

Ляховский сидел в старом кожаном кресле, спиной к дверям, но это не мешало ему видеть всякого входившего в кабинет — стоило поднять глаза к зеркалу, которое висело против него на стене. Из всей обстановки кабинета Ляховского только это зеркало несколько напоминало об удобствах и известной привычке к роскоши; все остальное отличалось большой скромностью, даже некоторым убожеством: стены были покрыты полинялыми обоями, вероятно, синего цвета; потолок из белого превратился давно в грязно-серый и

был заткан по углам паутиной; паркетный пол давно вытерся и был покрыт донельзя измызганным ковром, потерявшим все краски и представлявшимся издали большим грязным пятном. Несколько старых стульев, два небольших столика по углам и низкий клеенчатый диван направо от письменного стола составляли всю меблировку кабинета. Письменный стол был завален деловыми бумагами и расчетными книгами всевозможных форматов и цветов; ими очень искусно было прикрыто оборванное сукно и облупившаяся ореховая оклейка стола.

Наружность Ляховского соответствовала обстановке кабинета. Его небольшая тощая фигурка представлялась издали таким же грязным пятном, как валявшийся под его ногами ковер, с той разницей, что второе пятно помещалось в ободранном кресле. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, почерневшие и запыленные зимние рамы не были выставлены из окон, и сам хозяин сидел в старом ваточном пальто. Его длинная вытянутая шея была обмотана шарфом. По наружному виду едва ли можно было определить сразу, сколь-

ко лет было Ляховскому, — он принадлежал к разряду тех одеревеневших и высохших, как старая зубочистка, людей, о которых вернее сказать, что они совсем не имеют определенного возраста, всесокрушающее колесо времени катится, точно минуя их. Такие засохшие люди сохраняются в одном положении десятки лет, как те старые, гнилые пни, которые держатся одной корой и готовы рассыпаться в пыль при малейшем прикосновении. Большая голова Ляховского представляла череп, обтянутый высохшей желтой кожей, которая около глаз складывалась в сотни мелких и глубоких морщин При каждой улыбке эти морщины лучами разбегались по всему лицу. Ляховский носил длинные усы и маленькую мушку под нижней губой; черные волосы с сильной проседью образовали на голове забавный кок. Синие очки не оставляли горбатого носа, но он редко смотрел в них, а обыкновенно поверх их, так что издали трудно было угадать, куда он смотрит в данную минуту. В высохшем помертвелом лице Ляховского оставались живыми только одни глаза, темные и блестящие они еще свидетельствовали

о том запасе жизненных сил, который каким-то чудом сохранился в его высохшей фигуре. Альфонс Богданыч представлял полную противоположность рядом с Ляховским: толстый, с толстой головой, с толстой шеей, толстыми красными пальцами, — он походил на обрубок; маленькие свиные глазки юлили беспокойным взглядом около толстого носа.

— Вы хотите меня по миру пустить на старости лет? — выкрикивал Ляховский бабьим голосом. — Нет, нет, нет... Я не позволю водить себя за нос, как старого дурака.

— Успокойтесь, Игнатий Львович, — спокойно ответил Альфонс Богданыч, медленным движением откладывая на счетах несколько костяшек.

— Альфонс Богданыч, Альфонс Богданыч... вы надеваете мне петлю на шею и советуете успокоиться! Да... петлю, петлю! А Привалов здесь, в Узле, вы это хорошо знаете, — не сегодня-завтра он явится и потребует отчета Вы останетесь в стороне...

— Не то что явится, а уж явился, Игнатий Львович, — громко проговорил Половодов — Имею честь рекомендовать Сергей Алексан-

дрыч Привалов, Игнатий Львович Ляховский...

— Ах, виноват... извините... — заметался Ляховский в своем кресле, протягивая Привалову свою сухую, как щепка, руку. — Я так рад вас видеть, познакомиться... Хотел сам ехать к вам, да разве я могу располагать своим временем: я раб этих проклятых дел, работаю, как каторжник.

Привалов пробормотал что-то в ответ, а сам с удивлением рассматривал мизерную фигурку знаменитого узловского магната. Тот Ляховский, которого представлял себе Привалов, куда-то исчез, а настоящий Ляховский превосходил все, что можно было ожидать, принимая во внимание все рассказы о необыкновенной скупости Ляховского и его странностях. Есть люди, один вид которых разбивает вдребезги заочно составленное о них мнение, — Ляховский принадлежал к этому разряду людей, и не в свою пользу.

— Вы приехали как нельзя более кстати, — продолжал Ляховский, мотая головой, как фарфоровый китаец. — Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил этот маль-

чик, ваш брат... Да, да Я удивляюсь. Профессор Тидеман — такой прекрасный человек... Я имею о нем самые отличные рекомендации. Мы как раз кончили с Альфонсом Богданычем кой-какие счеты и теперь можем приступить прямо к делу... Вот и Александр Павлыч здесь. Я, право, так рад, так рад вас видеть у себя, Сергей Александрыч... Мы сейчас же и займемся!..

«Ну, этот без всяких предисловий берется за дело», — с улыбкой подумал Привалов, усаживаясь на место Альфонса Богданыча, который незаметно успел выйти из комнаты.

Половодов скрепя сердце тоже присел к столу и далеко вытянул свои поджарые ноги; он смотрел на Ляховского и Привалова таким взглядом, как будто хотел сказать: «Ну, друзья, что-то вы теперь будете делать Посмотрим!» Ляховский в это время успел вытащить целую кипу бумаг и бухгалтерских книг, сдвинул свои очки совсем на лоб и проговорил деловым тоном:

— Вы, господа, кажется, курите? Ведь вот были где-то у меня отличные сигары...

Он быстро нырнул под свой стол, вытащил

оттуда пустой ящик из-под сигар, щелкнул по его дну пальцем и с улыбкой доктора, у которого только что умер пациент, произнес:

— Вот здесь была целая сотня... Отличные сигары от Фейка. Это Веревкин выкурил!.. Да, он по две сигары выкуривает зараз, — проговорил Ляховский и, повернув коробку вверх дном, печально прибавил: — Теперь ни одной не осталось...

— Не беспокойтесь, Игнатий Львович, — успокаивал Половодов, улыбаясь глазами. — Я захватил с собой...

— У меня тоже есть, — заметил Привалов; выходки Ляховского начинали его забавлять.

— Вот и отлично, — обрадовался Ляховский. — Я очень люблю дым хороших сигар... У вас, Александр Павлыч, наверно, регалии... Да? Очень хорошо... Веревкин очень много курит сигар.

После этого эпизода Ляховский с азартом накинулся на разложенные бумаги. Нужно сознаться, что он знал все дело, как свои пять пальцев, и артистически набросал картину настоящего положения дел по опеке. Как искусный дипломат, он начал с самых слабых

мест и сейчас же затушевал их целым лесом цифровых данных; были тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетия и пятилетия, сравнительные итоги приходов и расходов, цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты; цифры так и сыпались, точно Ляховский задался специальной целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряженным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, пока у него совсем не закружилась голова, и он готов был сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр. Чтобы перевести дух, он спросил Ляховского:

— Александр Павлыч мне говорил, что у вас есть черновая последнего отчета по опеке... Позвольте мне взглянуть на нее.

— Да, да... Есть, как же, есть. С большим удовольствием...

Ляховский мягкими шажками подбежал к окну, порылся в нескольких картонках и, взглянув в окно, оставил бумаги.

— Извините, я оставлю вас на одну минуту, — проговорил он и сейчас же исчез из кабинета; в полуотворенную дверь донеслось только, как он быстро скатился вниз по лест-

нице и обругал по дороге дремавшего Пальку.

— Посмотрите, Сергей Александрыч... Ха-ха!.. — заливался Половодов, подводя Привалова к окну. — Удивительный человек этот Игнатий Львович.

Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те же крикливые звуки, как давеча. В окно Привалов видел, как Ляховский с петушиным задором наскакивал на массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед барином без шапки. На земле валялась совсем новенькая метла, которую Ляховский толкал несколько раз ногой.

— Вы все сговорились пустить меня по миру! — неестественно тонким голосом выкрикивал Ляховский. — Ведь у тебя третьего дня была новая метла! Я своими глазами видел... Была, была, была, была!..

— Она и теперь в конюшне стоит, — флегматически отвечал Илья, трогая одной рукой то место, где у других людей бывает шея, а у него из-под ворота ситцевой рубашки выползала широкая жирная складка кожи, как у бегемота. — Мне на што ее, вашу метлу.

— Да, да... Сегодня метла, завтра метла, по-

слезавтра метла. Господи! да вы с меня последнюю рубашку снимете. Что ты думаешь: у меня золотые горы для вас... а?.. Горы?.. С каким ты мешком давеча шел по двору?

— Известно с каким: мешок обыкновенный с овсом...

— Хорошо, я сам знаю, что не с водой, да овес-то, овес-то куда ты нес... а?.. Ведь овес денег стоит, а ты его воруешь... а?..

— Ничего не ворую... вот сейчас провалиться, Игнатий Львович. Барышня приказали Тэку покормить, ну я и снес. Нет, это вы напрасно: воровать овес нехорошо... Сейчас провалиться... А ежели барышня...

— Барышня?! Знаю я вас, молодцов... Вот я спрошу у барышни.

Ляховский кричал еще несколько минут, велел при себе убрать новую метлу в завозню и вернулся в кабинет с крупными каплями холодного пота на лбу.

— Разоряют... грабят... — глухим голосом простонал он, бессильно падая в кресло и закрывая глаза.

— Мне кажется, что вы уж очень близко принимаете к сердцу разные пустяки, — заме-

тил Половодов, раскуривая сигару.

— Пустяки?!.. это пустяки?!.. — возопил Ляховский, вскакивая с места с такой стремительностью, точно что его подбросило. — В таком случае что, по-вашему, не пустяки... а? Третьего дня взял новую метлу, а сегодня опять новая.

— Да ведь метла, Игнатий Львович, стоит у нас копейку.

— Ах, молодые люди, молодые люди... Да разве мне дорога самая метла? Меня возмущает отношение, — понимаете, отношение моих служащих к моим деньгам. Да... Ведь я давно был бы нищим, если бы смотрел на свои деньги их глазами. Последовательность нужна... да, последовательность! Особенно в мелочах, из которых складывается вся жизнь Сергей Александрович, обратите внимание: сегодня я спущу Илье, а завтра будут делать то же другие кучера, — все и потащат, кто и что успеет схватить. Метод, идея дороги: кто не умеет сберечь гроша, тот не сбережет миллиона... Да-с. Особенно это важно для меня: у меня столько дел, столько служащих, прислуги... да они по зернышку разнесут все, что я

наживал годами.

— Извините меня, Сергей Александрыч. — прибавил Ляховский после короткой паузы. — Мы сейчас опять за дело...

— Может быть, вы устали, Игнатий Львович, — проговорил Привалов, — тогда мы в другой раз...

— Ах нет, зачем же. Во всяком деле важен прежде всего метод, последовательность...

Чтение черновой отчета заняло больше часа времени. Привалов проверил несколько цифр в книгах, — все было верно из копейки в копейку, оставалось только заняться бухгалтерскими книгами. Ляховский развернул их и приготовился опять унестись в область бесконечных цифр.

— Нет, уж меня увольте, господа, — взмолился Половодов, поднимаясь с места. — Слуга покорный... Да это можно с ума сойти! Сергей Александрыч, пощадите свою голову!

— Мне все равно, — соглашался Привалов. — Как Игнатий Львович.

— Ну и сидите с Игнатием Львовичем, — проговорил Половодов. — Я не могу вам принести какой-нибудь пользы здесь, поэтому

позвольте мне удалиться на некоторое время...

— Куда же вы, Александр Павлыч? — спрашивал Ляховский с недовольным лицом. — Я просто не понимаю...

— Чего ж тут не понимать, Игнатий Львович? Дело, кажется, очень просто: вы тут позайметесь, а я тем временем передохну немножко... Схожу засвидетельствовать мое почтение Софье Игнатьевне.

Ляховский безнадежно махнул рукой на выходившего из комнаты Половодова и зорко поглядел в свои очки на сидевшего в кресле Привалова, который спокойно ждал продолжения прерванных занятий. Привалову больше не казались странными ни кабинет Ляховского, ни сам он, ни его смешные выходки, — он как-то сразу освоился со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес самое смутное представление о действительном положении дел, да и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно было, по крайней мере, месяц поработать над этими счетами и бухгалтерскими книгами, чтобы овладеть самой сутью дела. Теперь задачей Привалова было

ознакомиться хорошенько с приемами Ляховского и его пресловутой последовательностью. Василий Назарыч указал Привалову на слабые места опеки, но теперь рано было останавливаться на них: Ляховский, конечно, сразу понял бы, откуда дует ветер, и переменил бы тактику, а теперь ему поневоле приходилось высказываться в том или другом смысле. За Приваловым оставалось в этой игре то преимущество, что для Ляховского он являлся все-таки неизвестной величиной.

— Вот уж поистине — связался черт с младенцем, — ворчал Половодов, шагая по какому-то длинному коридору развязной походкой своего человека в доме. — Воображаю, сколько поймет Привалов из этих книг... Ха!..

По дороге Половодов встретил смазливую горничную в белом фартуке с кружевами; она бойко летела с серебряным подносом, на котором стояли пустые чашки из-под кофе.

— Кто у барышни? — спросил Половодов, загораживая дорогу и стараясь ухватить двумя пальцами горничную за подбородок с ямочкой посредине.

— Ах, отстаньте... — кокетливо прошепта-

ла девушка, защищаясь от барской ласки своим подносом. — Виктор Васильич, Лепешкин, наш барин...

— Понимаю, бесенок.

Потрепав горничную по розовой щеке, Половодов пошел дальше еще в лучшем настроении: каждое смазливое личико заставляло его приятно волноваться.

Глава 29

Занятия в кабинете Ляховского продолжались недолго, потому что хозяин скоро почувствовал себя немного дурно и даже отворил форточку.

— Мы отложим занятия до следующего раза, Игнатий Львович, — говорил Привалов.

— Ах нет, зачем же... Мы еще успеем и сегодня сделать кое-что, — упрямился Ляховский и с живостью прибавил: — Мы вместо отдыха устроим небольшую прогулку, Сергей Александрыч... Да? Ведь нужно же вам посмотреть ваш дом, — вот мы и пройдемся.

— Я боюсь, что такая прогулка еще сильнее утомит вас.

— О, нисколько, напротив, я освежусь.

Привалов покорно последовал за хозяи-

ном, который своими бойкими маленькими ножками вывел его сначала на площадку лестницы, а отсюда провел в парадный громадный зал, устроенный в два света. Восемь массивных колонн из серого мрамора с бронзовыми базами и капителями поддерживали большие хоры, где могло поместиться человек пятьдесят музыкантов. Потолок, поднятый в интересах резонанса продолговатым овалом, был покрыт полинявшими амурами и широкими гирляндами самых пестрых цветов. Старинная бронзовая люстра спускалась с потолка массивным серым коконом. Стены, выкрашенные по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла просачивавшаяся сквозь потолок вода. Позолота на капителях и базах, на карнизах и арабесках частью поблекла, частью совсем слиняла; паркетный пол во многих местах покоробило от сырости, точно он вспух; громадные окна скупо пропускали свет из-за своих потемневших штофных драпировок. Затхлый, гниющий воздух, кажется, составлял неотъемлемую принадлежность этого медленно разла-

гавшегося великолепия.

— Этот зал стоит совершенно пустой, — объяснял Ляховский, — да и что с ним делать в уездном городишке. Но сохранять его в настоящем виде — это очень и очень дорого стоит. Я могу вам представить несколько цифр. Не желаете? В другой раз когда-нибудь.

— Да, думаю, что лучше в другой раз.

Ляховский показал еще несколько комнат, которые находились в таком же картинном запустении, как и главный зал. Везде стояла старинная мебель красного дерева с бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из сибирской яшмы, мрамора, малахита, плохие картины в тяжелых золоченых рамах, — словом, на каждом шагу можно было чувствовать подавляющее влияние самой безумной роскоши. Привалов испытывал вдвойне неприятное и тяжелое чувство: раз — за тех людей, которые из кожи лезли, чтобы нагромоздить это ни к чему не пригодное и жалкое по своему безвкусию подобие дворца, а затем его давила мысль, что именно он является наследником этой ни к чему не годной ветоши. В его душе пробуждалось смутное сожаление к тем

близким ему по крови людям, которые погибли под непосильным бременем этой безумной роскоши. Ведь среди них встречались недюжинные натуры, светлые головы, железная энергия — и куда все это пошло? Чтобы нагромоздить этот хлам в нескольких комнатах... Привалов напрасно искал глазами хотя одного живого места, где можно было бы отдохнуть от всей этой колоссальной расписанной и раззолоченной бессмыслицы, которая разлагалась под давлением собственной тяжести, — напрасные усилия. В этих роскошных палатах не было такого угла, в котором притаилось бы хоть одно теплое детское воспоминание, на какое имеет право последний нищий... Каждый предмет в этих комнатах напоминал Привалову о тех ужасах, какие в них творились. Тени знаменитого Сашки, Стеши, наконец отца — вот что напоминала эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом помещались знаменитая приваловская конюшня и раскольничья моленная.

— Эти комнаты открываются раз или два в год, — объяснял Ляховский. — Приходится давать иногда в них бал... Не поверите, одних

свеч выходит больше, чем на сто рублей!

— Теперь нам остается только подняться в бельведер, — предлагал Ляховский, бойко для своих лет взбегая по гнилой, шатавшейся лестнице в третий этаж.

Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на весь Узел, на окрестности и на линию Уральских гор, тяжелыми силуэтами тянувшихся с севера на юг. Правда, горы в этом месте не были высоки и образовали небольшой угол, по которому бойко катилась горная речка Узловка. Она получила свое название от крутого колена, которое делала сейчас по своем выходе из гор и которое русский человек окрестил «узлом». Город получил свое название от реки, по берегам которой вытянул в правильные широкие улицы тысячи своих домов и домиков.

Вообще вид на город был очень хорош и приятно для глаз пестрел своими садами и ярко расписанными церквами. Это был бойкий сибирский город, совсем не походивший на своих «расейских» братьев. Видно, что жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В гу-

стом сосновом бору, который широким кольцом охватывал город со всех сторон, дымилось до десятка больших фабрик и заимок, а по течению Узловки раскинулись дачи местных богачей. Привалов долго смотрел к юго-востоку, за Мохнатенькую горку, — там волнистая равнина тонула в мутной дымке горизонта, постепенно понижаясь в благословенные степи Башкирии.

— Бойкий город, не правда ли? — спрашивал Ляховский, прищуривая глаза от солнца. — Вы, я думаю, не узнали его теперь.

— Да трудно и узнать, потому что я почти все забыл за пятнадцать лет.

— А вот подождите, проведут к нам железную дорогу, тогда мы еще не так процветем.

Привалов промолчал.

— Теперь я покажу вам половину, где мы, собственно, живем сами, — говорил Ляховский, бойко спускаясь по лестнице.

Ляховский повел Привалова через анфиладу жилых комнат, которые представляли приятный контраст со всем, что приходилось видеть раньше. Это были жилые комнаты в полном смысле этого слова, в них все говорило о

жизни и живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах после министерской передней, убожества хозяйского кабинета и разлагающегося великолепия мертвых залов, — даже беспорядок казался приятным, потому что красноречиво свидетельствовал о присутствии живых людей: позабытая на столе книга, начатая женская работа, соломенная шляпка с широкими полями и простеньким полевым цветочком, приколотым к тулье, — самый воздух, кажется, был полон жизни и говорил о чьем-то невидимом присутствии, о какой-то женской руке, которая производила этот беспорядок и расставила по окнам пахучие летние цветы. Привалов настолько был утомлен всем, что приходилось ему слышать и видеть в это утро, что не обращал больше внимания на комнаты, мимо которых приходилось идти.

Глава 30

— Пожалуйте сюда, Сергей Александрыч, — проговорил Ляховский, отворяя перед Приваловым дверь на террасу, которая выходила на двор.

Терраса была защищена от солнца марки-

зой, а с боков были устроены из летних вьющихся растений живые зеленые стены. По натянутым шнуркам плотно вился хмель, настурции и душистый горошек. Ляховский усталым движением опустился на садовый деревянный стул и проговорил, указывая глазами на двор:

— Моя дочь, Зося...

С намерением или без всякого намерения, но едва ли Ляховский мог выбрать другой, более удачный момент, чтобы показать свою Зосю во всем блеске ее оригинальной красоты. Зося стояла в каком-нибудь десятке сажен от террасы На ней была темно-синяя амазонка с длиннейшим шлейфом Из-под синей шляпы с загнутым широким полем a la Rubens выбивались пряди бело-русых волос с желтоватым отливом. Привалов внимательно смотрел на эту захваленную красавицу, против которой благодаря именно этим похвалам чувствовал небольшое предубеждение, и принужден был сознаться, что Зося была действительно замечательно красива. Она принадлежала к тому редкому типу, о котором можно сказать столько же, сколько о тон-

ком аромате какого-нибудь редкого растения или об оригинальной мелодии, — слово здесь бессильно, как бессильны краски и пластика.

«Неужели это ее отец?» — подумал он, переводя глаза на Ляховского, который сидел на своем стуле с полузакрытыми глазами, как подбитое молью чучело.

Ляховская была не одна. Рядом с ней стоял в своем сером балахоне Половодов; он всем корпусом немного подался вперед, как пловец, который вот-вот бросится в воду. По другую сторону Зоси выделялась фигура Виктора Васильича с сбитой на затылок шляпой и с выдававшейся вперед козлиной бородкой. Тут же, неизвестно зачем, стоял в своем кафтане Лепешкин. От расплывшейся по его лицу улыбки глаза совсем исчезли, и он делал короткие движения своей пухлой пятерней каждый раз, когда к нему обращалась Ляховская. В этой группе Привалов рассмотрел еще одного молодого человека с длинным испитым лицом и подгибавшимися на ходу тоненькими ножками; он держал в руке длинный английский хлыст. Этот молодой человек был не кто другой, как единственный сын

Ляховского — Давид; он слишком рано познакомился с обществом Виктора Васильича, Ивана Яковлича и Лепешкина, и отец давно махнул на него рукой.

— Илья, короче держи корду! — командовала Ляховская.

Посреди двора на длинной веревке описывал правильные круги великолепный текинский иноходец светло-желтой масти. Илья занимал центр двора. Его монументальные руки, какие можно встретить только на памятниках разных исторических героев, были теперь открыты выше локтей, чтобы удобнее держать в руках корду; лошадь иногда забирала веревку и старалась сдвинуть Илью с места, но он только приседал, и тогда сорвать его с места было так же трудно, как тумбу.

— Обратите внимание на лошадь, — говорил Ляховский Привалову. — Это настоящий текинский иноходец, который стоит на месте, в Хиве, шестьсот рублей, да столько же стоило привести его на Урал.

— Действительно отличная лошадь, — согласился Привалов, знавший толк в лошадях.

— Да это что... вы посмотрите Тэке, когда

он идет под дамским седлом.

— Ну-с, Тэке, подойди ко мне, — проговорила Ляховская, останавливая лошадь.

Тэке, мотнув несколько раз головой и звонко ударив передними ногами в землю, кокетливо подошел к девушке, вытянув свою атласную шею, и доверчиво положил небольшую умную голову прямо на плечо хозяйки.

— Напрасно вы, барышня, лошадь балуете, — проговорил Илья, почесывая за ухом концом веревки. — Это такая лошадь, такая... Ты ей корму несешь, а она ладит тебя ногой заразить или зубищами ухватить за шиворот.

— Отчего же Тэке не заразил ногой берейтора? — спрашивала Ляховская, гладя лошадь своей маленькой крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку.

— Берейтор, известно... он, конечно, Софья Игнатьевна, жалованье большое получал... это точно, а проехать-то и я не хуже его проеду.

Тэке наконец был отпущен с миром в свою конюшню, и вся компания с говором и смехом повалила за хозяйкой в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал про-

щаться.

— Что же это вы, Аника Панкратыч? — удивилась Ляховская.

— Да уж так-с, Софья Игнатьевна. Никак не могу-с... Как-нибудь в другой раз, ежели милость будет.

— Отчего же не теперь? Может быть, у вас дела?

— Нет, делов особенных нет...

— Аника Панкратыч боится Игнатия Львовича, — объяснил Половодов, показывая глазами на террасу.

— Ах, вот в чем дело... — засмеялась Ляховская. — А слыхали пословицу, Аника Панкратыч: «в гостях воля хозяйская...»

— Как не слыхать, Софья Игнатьевна, — отвечал Лепешкин, щуря глаза. — Другая еще есть пословица-то...

— Какая?

— Гм... Старые люди так говорили: «гости — люди подневольные, — где посадили, там и сидят, а хозяин, что чирей: где захочет, там и сядет».

Ляховская хохотала над этой пословицей до слез, и ее смех напоминал почему-то При-

валову рассказ Виктора Васильича о том, как он выучил Зосю ловить мух. Виктор Васильич и Давид успели подхватить Лепешкина «под крыльца» и без церемонии поволокли на лестницу.

— Ох, поясницу мне изведете, ежовые головы, — хрипел Лепешкин, напрасно стараясь освободиться. — И чего тащат… Тятенька придет и всю артель разорит.

Глава 31

— Идемте завтракать, Сергей Александрыч, — предлагал Ляховский и сейчас же прибавил: — Я сам не завтракаю никогда, а передам вас на руки дочери…

Они вошли в столовую в то время, когда из других дверей ввалилась компания со двора. Ляховская с улыбкой протянула свою маленькую руку Привалову и указала ему место за длинным столом около себя.

— А у меня дела, Сергей Александрыч, извините, пожалуйста, — говорил Ляховский, трусцой выбегая из комнаты.

— Вы извините рара, у него действительно столько дела, — жеманно проговорила Зося. — Вы что там смеетесь, Аника Панкратыч?

— Он радуется, что Игнатий Львович вышел, — объяснил Половодов, пристально наблюдавший Привалова все время.

— А оно точно... — ухмылялся Лепешкин, жмуря глаза, — всю обедню бы извели... Уж вы, Софья Игнатьевна, извините меня, старика; тятенька ваш, обнаковенно, умственный человек, а компанию вести не могут.

— У вас хорошая привычка, Аника Панкратыч, — заметила Ляховская, гремя ножом, — вы говорите то, что думаете...

— Значит, «люблю молодца за обычай»? Ох-хо-хо! — захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой.

Это странное общество и сама молодая хозяйка заинтересовали Привалова. И в тоне разговора, и в обращении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя — все было новостью для Привалова. Ляховская обращалась со всеми с аристократической простотой, не делая разницы между своими гостями. Привалова она расспрашивала как старого знакомого, который только что вернулся из путешествия. Половодов выбивался из сил, чтобы вставить несколько остроумных фраз в этот

беглый разговор, но Ляховская делала вид, что не замечает ни этих остроумных фраз, ни самого автора. Сначала Половодов относился к этому равнодушно, а потом обиделся и замолчал. Ему казалось, что Зося приносила его в жертву приваловским миллионам; против этого он, собственно, ничего не имел, если бы тут же не сидели этот сыромятина Лепешкин и Виктор Васильич.

— А что наш редактор детского журнала? — спрашивала Ляховская, кивая головой в сторону молчаливо сидевшего Виктора Васильича.

— Он, кажется, сегодня не в духе...

— Виктор Васильич оставил редакторство, — объяснил Половодов, успокоенный внимательно-тревожным взглядом хозяйки. — Отныне он просто Моисей...

— Это еще что такое? — удивилась хозяйка.

— А вот Аника Панкратыч расскажет...

— Вышел такой грех, точно... — заговорил Лепешкин. — Мы как-то этак собрались в «Золотом якоре», у одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже номер занял. Ну,

набралось нас народу грудно... Иван Яковлич, Ломтев Миколя я, Виктор Васильич, ваш братец... много народу понаперло. Выпили... Виктор Васильич и говорит: «Супротив меня никому смелости не оказать...» Обнаковенно, человек не от ума сболтнул, а Иван Яковлич подхватил: окажи им смелость сейчас, и шабаш. Ну, какую в номере смелость окажешь, окромя того, что зеркало расщепать или другую мебель какую... Туда-сюда, а Виктор Васильича карахтер вроде как телеграф: вынь да положь... Как он закричит: «Спущайте меня на веревке на карниз... С бутылкой по карнизу обойду!» Я отговаривал, да куда — чуть было меня за бороду не схватил. Ну, думаю, ступай, — Василию Назарычу меньше по векселям платить. Связали полотенца да на полотенцах его, раба божия, и спустили, как был, без сюртука, без жилетки... Вот он встал этаким манером на карнизе, Христос его знает, уцепился как-то ногами — стоит, и только, значит, хотел из бутылки пить, внизу караульный прибежал... Думает, либо лунатик, либо вор по стене ползет. Ха-ха! И сейчас «караул!!»... Полиция и всякое прочее. А Виктор

Васильич не идет с карнизу и шабаш: подавали мы полотенце — не берет, притащили лестницу — «не хочу». Сам слезу, слышь. Ну, слезай. Вот он уцепился руками за карниз, да по окну и полез... И господь его знает, совсем было слез, да по дороге зацепил, видно, голяшкой за кирпичи, да как ногами бухнет в окно... Звон, треск!.. А окно-то выходило в номер, где ташкентский офицер остановился. А у ташкентского офицера семь дочерей, и все спали в этом самом номере. Обнаковенно, испужались до смерти и, в чем были, прямо с постели в номер к тятеньке. Тятенька, обнаковенно, прибежал с ливольвером и сейчас Виктора Васильича за ногу и, с позволения сказать, как кошку, в номер к себе утащил: «Кто таков человек есть?» А Виктор Васильич, не будь плох, отвечает: «Моисей». — «Из каких местов?» — «С неба упал...» А мы там сидим и голосу не подаем, потому либо в свидетели потянут, либо тятенька этот пристрелит.

— И чем же кончилась вся эта история? — спрашивала Ляховская, хохотавшая во время рассказа до слез.

— Обнаковенно, к мировому. Миколя за-

щитником объявился.

Виктор Васильич смеялся вместе с другими самым беззаботным образом. Давид хохотал как сумасшедший и старался под столом достать Лепешкина своими длинными ногами.

— Значит, мы потеряли редактора и получили Моисея, — резюмировала Ляховская, когда пароксизм общего смеха немного утих. — Так и запишем: Моисей...

После этого шумного завтрака Привалов простился с хозяйкой; как только дверь за ним затворилась, Половодов увел Ляховскую в другую комнату и многозначительно спросил:

— На ваш взгляд, Софья Игнатьевна, что за зверь этот Привалов?

— Привалов? А вам...

— Нет, будемте говорить серьезно. Знаете, мужчина никогда не поймет сразу другого человека, а женщина... Это, заметьте, очень важно, и я серьезно рассчитываю на вашу проницательность.

— Господи! Какая бездна серьезности и таинственности... Вы на что это давеча изволи-

ли надуться за завтраком?

— Ах, это пустяки... Разве кому-нибудь интересно знать, что я могу чувствовать или думать!

— Меня удивляет ваш тон, Александр Павлыч, — вспыхнув, проговорила Ляховская. — Вы позволяете себе, кажется, слишком много...

— Простите... — проговорил Половодов, почтительно целуя руку девушки, — вы знаете, что это со мной иногда случается...

Они прошли в угловую комнату и поместились около круглого столика. Ляховская сделала серьезное лицо и посмотрела вопросительно своими темными глазами.

— Видите ли, Софья Игнатьевна, — тихо начал Половодов, — Привалов начинает дело... Поверенным Веревкин.

— Nikolas?

— Да, Nikolas...

Последовала короткая пауза.

— Что же вы от меня хотите? — спрашивала Ляховская, общипывая пуговку на своей перчатке.

— Я... я хочу слышать ваше мнение о При-

валове, Софья Игнатьевна.

— Мое мнение... Знаете, Александр Павлыч, в лице Привалова есть что-то такое — скрытность, упрямство, подозрительность, — право, трудно сказать с первого раза.

— Да, он умнее, чем может показаться с первого раза. Но не заметили ли вы в нем, что намекало бы на бесхарактерность? Нерешительность во взгляде, бесцельные движения... Обратите внимание, Привалов — последняя отрасль Гуляевых и Приваловых, следовательно, в нем должны перемешаться родовые черты этих фамилий: предрасположение к мистицизму, наконец — самодурство и болезненная чувствительность. Привалов является выродком, следовательно, в нем ярче и шире оставили свои следы наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. Это закон природы, хотя известным образованием и выдержкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе с своими миллионами Привалов получил еще большое наследство в лице того темного прошлого, какое стоит за его фамилией.

— Вы иногда бываете, Александр Павлыч,

очень умным и проницательным человеком, — заметила девушка, останавливая глаза на одушевленной физиономии Половодова.

— Плохой комплимент, Софья Игнатьевна... Но я не могу обижаться, потому что меня делает глупым именно ваше присутствие, Софья Игнатьевна.

— Ах, как это чувствительно и... смешно. Веревкин справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по сезонам: весной — шатенки, зимой — брюнетки, осенью — рыжие, а так как я имею несчастье принадлежать к белокурым, то вы дарите меня своим сочувствием летом.

— Довольно, довольно... — упавшим голосом проговорил Половодов.

— Да, мы уклонились от нашего разговора.

Половодов прошелся несколько раз по комнате, потер себе лоб и проговорил:

— Наше дело может кончиться очень плохо, Софья Игнатьевна.

— Именно?

— Я не буду говорить о себе, а скажу только о вас. Игнатий Львович зарывается с каждым днем все больше и больше. Я не скажу,

чтобы его курсы пошатнулись от того дела, которое начинает Привалов; но представьте себе: в одно прекрасное утро Игнатий Львович серьезно заболел, и вы... Он сам не может знать хорошенько собственные дела, и в случае серьезного замешательства все состояние может уплыть, как вода через прорванную плотину. Обыкновенная участь таких людей...

— Вам-то какое горе? Если я буду нищей, у вас явится больше одной надеждой на успех... Но будемте говорить серьезно: мне надоели эти ваши «дела». Конечно, не дурно быть богатым, но только не рабом своего богатства...

В ее глазах, в выражении лица, в самой позе было что-то новое для него. Сквозь обычную беззаботность и приемы женщины, привыкшей к поклонению с первого дня рождения, прозвучала совершенно особенная нотка. Что это? Половодов внимательно посмотрел на девушку; она ответила ему странной улыбкой, в которой были перемешаны и сожаление, и гордость, и что-то такое... «бабье», сказал бы Половодов, если бы эта улыбка при-

надлежала не Зосе Ляховской, а другой женщине. Вдруг в голове у него мелькнула, как молния, одна мысль, и он совершенно равнодушным тоном спросил:

— Я что-то давно не вижу у вас Максима!

— Он давно не был у нас, — невозмутимо ответила Ляховская с той же улыбкой.

Глава 32

Сам по себе приваловский дом был замечательным явлением, как живой памятник отошедшего в вечность бурного прошлого; но еще замечательнее была та жизнь, которая совершалась под его проржавевшей кровлей.

Игнатий Ляховский принадлежал к типу тех темных людей, каких можно встретить только в Сибири. Сам он называл себя почему-то хохлом. Молва гласила другое, именно, что он происходил из кантонистов. Свое состояние он нажил в Сибири какими-то темными путями. Одни приписывали все краденому золоту, другие — водке, третьи — просто счастью. Общий голос громко кричал о том, что Ляховский пошел жить от опеки над наследством Приваловых. Вернее всего было, что созидающими элементами здесь являлось

много различных сил и счастливых случаев, а узлом всего являлась удивительная способность Ляховского сразу определять людей и пользоваться ими, как игрок пользуется шахматами в своих ходах. Все-таки как источник богатства Ляховского, так и размеры этого богатства оставались для обывателей уездного городка и всей губернии неразрешимой загадкой.

О странностях Ляховского, о его страшной скупости ходили тысячи всевозможных рассказов, и нужно сознаться, что большею частью они были справедливы. Только, как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой скупости и странностей не желают видеть того, что их создало. Наживать для того, чтобы еще наживать, — сделалось той скорлупой, которая с каждым годом все толще и толще нарастала на нем и медленно хоронила под своей оболочкой живого человека.

Мы здесь должны сказать о жене Ляховского, которая страдала чисто русской болезнью — запоем. Все системы лечения, все знаменитости медицинского мира в России и за границей — все было бессильно против этой

страшной болезни. Самым страшным для Ляховского было то, что она передала свои недостатки детям. Ляховский в увлечении своими делами поздно обратил внимание на воспитание сына и получил смертельный удар: Давид на глазах отца был погибшим человеком, кутилой и мотом, которому он поклялся не оставить в наследство ни одной копейки из своих богатств. Давид был тем же матушкиным сынком, как и Виктор Васильич; эти молодые люди весело шли по одной дорожке, и у обоих одинаково было парализовано самое дорогое качество в каждом человеке — воля, характер. Они не были ни злыми, ни глупыми, ни подлецами, но всякую минуту могли быть тем, и другим, и третьим в силу именно своей бесхарактерности.

Несмотря на все принятые предосторожности, в характере Зоси рано сказалось ее мужское воспитание, и она по своим привычкам походила больше на молодого человека. Женского общества она не выносила, и исключение, сделанное для Нади, скоро потеряло всякое значение. Дела по приваловской опеке расстроили хорошие отношения между Ля-

ховским и Бахаревым. Последний не любил высказываться дурно о людях вообще, а о Ляховском не мог этого сделать пред дочерью, потому что он строго отличал свои деловые отношения с Ляховским от всех других; но Надя с женским инстинктом отгадала действительный строй отцовских мыслей и незаметным образом отдалилась от общества Ляховского. Правда, по наружному виду это трудно было отгадать, но оно чувствовалось во всем, и Ляховский искренне жалел об этом невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильич, и еще много других лиц, на которых Ляховскому приходилось смотреть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно, как день, что из Зоси вырабатывалась прозаическая натура, недоступная увлечениям. Поэтому исключительно мужское общество не смущало ни доктора, ни Ляховского.

— Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоси железные проволоки вместо нервов, — не без самодовольства говорил Ляховский. — Она скорее походит на жокея, чем на светскую барышню... Для нее же лучше. Женщина

такой же человек, как и мужчина, а тепличное воспитание делало из женщин нервных кукол. Не правда ли, доктор?

Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Ляховский переходил на другой тон.

— Что будете делать, что будете делать, — говорил он, грустно покачивая головой. — Кровь великое дело. А в Зосе много дурной крови... Да, в ней много дурной крови! Но ведь в этом не мы с вами виноваты. Я вижу, что ей во многом еще недостает характера, силы воли, и она делается несправедливой и злой именно в силу этого недостатка. Но научите меня, что еще для нее я могу сделать? Отправить за границу, в Америку, — но ведь она не поймет и десятой доли того, что увидит, а всякое полузнание хуже всякого незнания. Как отец, я не могу отнестись беспристрастно, как желал бы к ней отнестись, и, может быть, преувеличиваю ее недостатки. Не помню где, но, кажется, в каком-то пустейшем французском романе я вычитал мысль, что нет ничего труднее, как установить правильные отношения между отцом и взрослой дочерью. А здесь затруднение усложняется

тем, что у бедной Зоси нет матери... Нет, гораздо хуже, чем нет! Да, доктор... Но войдите в мое положение и скажите, не сделали бы вы то же самое, что я сделал?

Глава 33

Мы видели Ляховского с его лучших сторон; но он являлся совершенно другим человеком, когда вопрос заходил о деньгах. В конце каждого месяца в его кабинете с небольшими вариациями происходили такие сцены. В двери кабинета пролезает кучер Илья и безмолвно останавливается у порога; он нерешительно начинает что-то искать своей монументальной рукой на том месте, где его толстая голова срослась с широчайшими плечами. Узкие глаза смотрят в угол, ноги делают беспокойные движения, как у слона, прикованного к полу железной цепью.

— Зачем ты пришел, Илья? — спросит Ляховский усталым голосом.

— А насчет жалованья, Игнатий Львович...

— Зачем?

— Говорю: насчет жалованья...

— За деньгами пришел?

— За жалованьем.

— Деньги... везде деньги, всякому подай деньги, — начинает горячиться Ляховский. — Что же, по-твоему, я сам, что ли, делаю их?

— Не могу знать, Игнатий Львович.

— Не могу знать!.. А где я тебе возьму денег? Как ты об этом думаешь... а? Ведь ты думаешь же о чем-нибудь, когда идешь ко мне? Ведь думаешь... а? «Дескать, вот я приду к барину и буду просить денег, а барин запустит руку в конторку и вытащит оттуда денег, сколько мне нужно...» Ведь так думаешь... а? Да у барина-то, умная твоя голова, деньги-то разве растут в конторке?..

По оплывшей бородатой физиономии Ильи от одного уха до другого проползает конвульсивное движение, заменяющее улыбку, и маленькие черные глаза, как у крота, совсем скроются под опухшими красными веками.

— Ежели вы, Игнатий Львович, очень сумлеваетесь насчет жалованья, — начинает Илья, переминаясь с ноги на ногу, — так уж лучше совсем рассчитайте меня... Меня давно Панафидины сманивают к себе... и пять рублей прибавки.

— А кто эти Панафидины?

— Купцы... В гостином дворе кожевенным товаром торгуют.

— Купцы... Вот и ступай к своим Панафидиным, если не умел жить здесь. Твой купец напьется водки где-нибудь на похоронах, ты повезешь его, а он тебя по затылку... Вот тебе и прибавка! А ты посмотри на себя-то, на рожу-то свою — ведь лопнуть хочет от жиру, а он — «к Панафидиным... пять рублей прибавки»! Ну, скажи, на чьих ты хлебах отъелся, как боров?

— Это уж божеское произволение, — резонирует Илья, опять начиная искать в затылке. — Ежели кому господь здоровья посылает... Другая лошадь бывает, Игнатий Львович, — травишь-травишь в нее овес, а она только сохнет с корму-то. А барин думает, что кучер овес ворует... Позвольте насчет жалованья, Игнатий Львович.

— Что ты пристал ко мне с ножом к горлу? Ну, сколько тебе нужно?

— Да за месяц уж пожалуйте... двадцать пять рублей.

— О-о-о... — стонет Ляховский, хватаясь

обеими руками за голову. — Двадцать пять рублей, двадцать пять рублей... Да ведь столько денег чиновник не получает, чи-новник!.. Понял ты это? Пятнадцать рублей, десять, восемь... вот сколько получает чиновник! А ведь он благородный, у него кокарда на фуражке, он должен содержать мать-старушку... А ты что? Ну, посмотри на себя в зеркало: мужик, и больше ничего... Надел порты да пояс — и дело с концом... Двадцать пять рублей... О-о-о!

— А вы, Игнатий Львович, и возьмите себе чиновника в кучера-то, — так он в три дня вашего Тэку или Батыря без всех четырех ног сделает за восемь-то цалковых. Теперь взять Тэка... какая это лошадь есть, Игнатий Львович? Одно слово — разбойник: ты ей овса несешь, а она зубищами своими ладит тебя прямо за загривок схватить... Однова пятилась да пятилась, да совсем меня в угол и запятила. Думаю, как брызнет задней ногой, тут тебе, Илья, и окончание!.. Позвольте, Игнатий Львович, насчет жалов...

— На!.. бери, бери!.. — кричит Ляховский отодвигая ящик конторки, на дне которого ле-

жит несколько смятых кредиток. — На, грабь меня, снимай последнюю рубашку.

— Уж вы лучше сами отдайте...

— Не могу... чувствую, что пропьешь!

Эта история повторяется исправно каждый раз, поэтому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторожнее запускает свою лапищу в ящик.

— Покорно вас благодарю, — говорит Илья, пятясь к двери, как бегемот. — Мне что, я рад служить хорошим господам. Намедни кучер приходил от Панафидиных и все сманивал меня... И прибавка и насчет водки... Покорно вас благодарю.

Кучер Илья жил настоящим паразитом, но Ляховский никак не мог ему отказать, потому что другого такого Ильи в целой губернии не сыщешь, — ездил он мастерски и умел во всем потрафить барышне.

Чтобы докончить характеристику жизни в доме Ляховского, мы должны остановиться на Альфонсе Богданыче и Пальке. Альфонс Богданыч, безродный полячок, взятый Ляховским с улицы, кажется, совсем не имел фамилии, да об этом едва ли кто-нибудь и думал.

Все привыкли к тому, что Альфонс Богданыч должен был все знать, все предупредить, все угадать, всем угодить и все вынести на своей спине, — к чему еще тут фамилия? Никто, кажется, не подумал даже, что могло бы быть, если бы Альфонс Богданыч в одно прекрасное утро взял да и забастовал, то есть не встал утром с пяти часов, чтобы несколько раз обежать целый дом и обругать в несколько приемов на двух диалектах всю прислугу; не пошел бы затем в кабинет к Ляховскому, чтобы получить свою ежедневную порцию ругательств, крика и всяческого неистовства, не стал бы сидеть ночи за своей конторкой во главе двадцати служащих, которые, не разгибая спины, работали под его железным началом, если бы, наконец, Альфонс Богданыч не обладал счастливой способностью являться по первому зову, быть разом в нескольких местах, все видеть, и все слышать, и все давить, что попало к нему под руку Одним словом, Альфонс Богданыч играл в доме ту же роль, как стальная пружина в часах, за что в глазах Ляховского он был только очень услужливым и очень терпеливым человеком. Ляховский

считал Альфонса Богданыча очень ограниченной головой и возвысил его из среды других служащих только за ослиное терпение и за то, что Альфонс Богданыч был один-одинехонек Последнее обстоятельство в глазах Ляховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богданыч не будет его обкрадывать в интересах племянников и племянниц. Терпение у Альфонса Богданыча было действительно замечательное, но если бы Ляховский заглянул к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданыч, прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на свою одинокую постель, — Ляховский изменил бы свое мнение. Как это могло случиться, что Ляховский, вообще видевший людей насквозь, не мог понять человека, который ежедневно мозолил ему глаза, — этот вопрос относится к области психологии. Может быть, это самая простая психическая близорукость у себя дома людей, слишком дальнозорких вне этого дома.

Палька был диаметральной противоположностью Альфонса Богданыча, начиная с

того, что он решительно ничего не делал и, по странной случайности, неизменно пользовался репутацией самого верного слуги. Сам Альфонс Богданыч был бессилен против Пальки, как был бессилен относительно Ильи. Но Илья ленился потому, что его избаловали, а Палька потому, что ни на что больше не был годен, ибо был холоп до мозга костей, и больше ничего. Положение Пальки было настолько прочно, что никому и в голову не приходило, что этот откормленный и упитанный хлоп мог же что-нибудь делать, кроме того, что отворять и затворять двери и сортировать проходивших на две рубрики: заслуживающих внимания и таких, про которых он говорил только «пхе!..».

Глава 34

— Ну, что, как вы нашли Ляховского? — спрашивал Веревкин, явившись к Привалову через несколько дней после его визита. — Не правда ли, скотина во всех отношениях? Ха-ха! Воображаю, какого шута горохового он разыграл перед вами для первого раза...

Привалов подробно рассказал весь ход сво-

его визита и свои занятия с Ляховским, эпизод с сигарами и метлами вызвал самый неистовый хохот Веревкина, который долго громким эхом раскатывался по всему домику Хионии Алексеевны и заставил Виктора Николаича вздрогнуть и заметить: «Эк, подумаешь, разобрало этого Веревкина!»

— Так и есть, по всем правилам своего искусства, значит, вел дело, — заговорил Веревкин, вытирая выступившие от смеха на глазах слезы. — Дайте время, он начнет прикидываться глухим и слепым. Ей-богу! Мерзавец такой, что с огнем поискать. У него есть здесь в Узле несколько домов, конечно купленных при случае, за бесценок. Вот однажды один из этих домов загорелся. Что бы вы думали: набат, народ бежит со всех сторон, и Ляховский трусцой задувает вместе с другими, а пожар на другом конце города. Видите ли, извозчик запросил с Ляховского пятиалтынный, а он давал гривенник. Так в пятачке и разошлись. После говорят Ляховскому: «Как же это вы, Игнатий Львович, пятачка пожалели, а целого дома не жалеете?» А он: «Что же я мог сделать, если бы десятью минутами раньше при-

ехал, — все равно весь дом сгорел бы и пятачок напрасно бы истратил». Заметьте, выдержка какая дьявольская. О, с ним нужно ухо востро держать! Какие он вам бумаги дал — посмотрим.

— Вот все здесь, — отвечал Привалов, вынимая из папки целую кипу взятых у Ляховского бумаг.

Веревкин с сигарой в зубах самым комфортабельным образом поместился в креслах и вооружил свой нос пенсне. Заметив, что Ипат принес и поставил около него на подносе графинчик с водкой и закуску на стеклянной тарелочке, он только улыбнулся; внимание Привалова к его жажде очень польстило Веревкину, и он с особенным усердием принялся рыться в бумагах, швырял их по всему столу и делал на полях красным карандашом самые энергичные nota bene. На первый раз трудно было разобраться в такой массе цифр, и Веревкин половину бумаг сложил в свой объемистый портфель с оборванными ремнями и сломанным замком.

— Да тут черт ногу сломит, батенька, — проговорил он после часовой работы. — По

меньшей мере недели две придется высидеть над ними. Этот Альфонс Богданыч — видели? — такого, я думаю, туману напустил... Ну, да мы их проберем и всех узлом завяжем. А вот что, — совершенно другим тоном прибавил Веревкин, отваливая свою тушу на спинку кресла, — я заехал, собственно, везти вас к Половодову... Мы отлично пообедаем там, а вы кстати пощупаете Александра Павлыча, как он себя чувствует. Ссориться с ними нам во всяком случае не приходится, потому что этим только затянем дело; ведь бумаги все у них в руках. Да я и не люблю ссориться со своими противниками.

Привалову совсем не хотелось ехать к Половодову. Он пробовал сопротивляться, но Веревкин был неумолим и даже отыскал шляпу Привалова, которую сейчас же и надел ему на голову.

— Нет, батенька, едемте, — продолжал Веревкин. — Кстати, Тонечка приготовила такой ликерчик, что пальчики оближете. Я ведь знаю, батенька, что вы великий охотник до таких ликерчиков. Не отпирайтесь, быль молодцу не укор. Едем сейчас же, время скоро-

течно. Эй, Ипат! Подавай барину одеваться скорее, а то барин рассердится.

Всю дорогу Веревкин болтал, как школьник. Это веселое настроение подействовало заразительно и на Привалова. Только когда они проезжали мимо бахаревского дома, Привалову сделалось как-то немного совестно — совестно без всякой видимой причины. Он заранее чувствовал на себе полный немого укора взгляд Марьи Степановны и мысленно сравнил Надю с Антонидой Ивановной, хотя это и были несравнимые величины.

Обед у Половодова прошел скучнее, чем можно было предполагать, и Привалов был очень недоволен, что послушался Веревкина. Антонида Ивановна сегодня держала себя очень холодно, даже немножко грустно, как показалось Привалову. Никто ни слова не говорил о Ляховских, как ожидал Привалов, и ему оставалось только удивляться, что за странная фантазия была у Веревкина тащить его сюда смотреть, как лакей внушительной наружности подает кушанья, а хозяин работает своими челюстями. Привалову, конечно, и в голову не пришло бы подумать, что Верев-

кин действовал по просьбе Антониды Ивановны, а между тем это было так. Веревкин для такого сорта поручений был самый золотой человек, потому что, несмотря на величайшие затруднения и препятствия при их выполнении, он даже не задавал себе вопроса, для чего нужен был Антониде Ивановне Привалов, нужен именно сегодня, а не в другое время. «Женская фантазия», — говорил обыкновенно Веревкин, если от него непременно требовали объяснений. Обед был точно такой же, как и в прошлый раз: редкие, художественно исполненные кушанья съедались с редким вниманием и запивались самыми редкими винами. Сейчас после обеда Половодов увел Привалова к себе в кабинет.

Пока в кабинете шла деловая беседа, Веревкин успел немного прийти в себя после сытного обеда, поймал сестру и усадил ее за рояль.

— Тонечка, голубушка, спой эту песню про Волгу, — умолял он. — Уважь единоутробного брата... а?.. Привалова не стесняйся, он отличный малый, хоть немножко и того (Веревкин многозначительно повертел около лба паль-

цем), понимаешь — славянофил своего рода. Ха-ха!.. Ну, да это пустяки: всякий дурак по-своему с ума сходит.

— А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за Обедом? — спрашивала Антонида Ивановна, с нежностью глядя на «единоутробного» братца.

— Что же, я только в своей стихии — не больше того. «Пьян да умен — два угодья в нем...» Видишь, начинаю завираться. Ну, спой, голубчик.

Антонида Ивановна взяла несколько аккордов и запела небольшим, но очень чистым контральто проголосную русскую песню:

Широка Волга разливалася,
С крутым бережком поровнялася...

Эта заунывная песня полилась с тем простым, хватавшим за душу выражением, с каким поет ее простой народ и никогда не поют на сцене. Антонида Ивановна умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая неизменно слышится во всех проголосных

русских песнях: глухие слезы и смертная тоска по какой-то воле и неизведанном счастье, казалось, стояли в этой песне. Веревкин сидел на низеньком диванчике, положив свою громадную голову в ладони рук как вещь, совершенно для него лишнюю. Спутанные шелковые кудри свалились к нему на лоб и закрывали глаза, но он не поправлял их, отдавшись целиком тому подмывавшему чувству, которое, как набежавшая волна прилива, тихо поднимало и несло куда-то вдаль. Привалов что-то хотел отвечать Половодову, когда раздались первые слова песни, да так и остался с открытым ртом на своем горнем месте, куда усадил его Половодов.

— Это Тонечка, — отвечал Половодов на немой вопрос Привалова. — Она порядочно поет русские песни, когда бывает в ударе.

Половодов вместе с Иваном Яковлевичем всему на свете предпочитал французские шансонетки, но в качестве славянофила он считал своим долгом непременно умилиться каждый раз, когда пела жена. У Привалова тихо закружилась голова от этой песни, и он закрыл глаза, чтобы усилить впечатление. В

глубине души что-то тихо-тихо заныло. Пред глазами смутно, как полузабытый сон, проносились картины густого леса, широкий разлив реки, над которым тихо садится багровое солнце; а там уже потянуло и холодом быстро наступающей летней ночи, и тихо зашелестела прибрежная осока, гнувшаяся под напором речной струи.

— В женщине прежде всего — кровь, порода, — говорил Половодов, раздвигая ноги циркулем. — На востоке женщина любит припадками и как-то уж слишком откровенно: все дело сводится на одну животную сторону. Совсем другое дело европейская женщина. В ней нет этой грязи, распущенности, лени; в ее присутствии все нервы в приятном напряжении, чувства настороже, а глаза невольно отдыхают на стыдливо прикрытых формах. Часто женщину принимаешь за девушку. Здесь все построено на пикантных неожиданностях, везде заманчивая неизвестность, и часто под опущенными стыдливо глазками, под детскими не сложившимися формами кроется самая знойная страсть. Вам которая из Бахаревых больше нравится? — неожиданно

спросил Половодов.

Привалов совсем не слушал его болтовни и теперь смотрел на него с недоумением, не понимая вопроса; впрочем, Половодов сейчас же вывел его из затруднения и проговорил:

— Мне Верета больше нравится; знаете, в ней есть что-то такое нетронутое, как переход от вчерашней девочки к завтрашней барышне. Тогда пиши пропало все, потому что начнется это жеманство да кривлянье. Пойдемте в гостиную, — прибавил он, подхватывая Привалова, по своей привычке, под руку.

В гостиной Половодов просидел недолго. Попросив жену занять гостя, он извинился перед Приваловым, что оставит его всего на несколько минут.

— Ты, Александр, подвергаешь Сергея Александрыча ничем не заслуженному испытанию, — проговорила Антонида Ивановна, оставляя рояль.

— Вы несправедливы ко мне, Антонида Ивановна, — мог только ответить Привалов. — Я считаю за счастье...

— А?.. Чего? — спрашивал Веревкин, который спал на своем диванчике и теперь толь-

ко проснулся. — А я так расчувствовался, что вздремнул под шумок... — Вы тут комплименты, кажется, говорите?

Под смех, вызванный этим маленьким эпизодом, Половодов успел выбраться из комнаты, и Привалов остался с глазу на глаз с Антонидой Ивановной, потому что Веревкин уплелся в кабинет — «додернуть», как он выразился.

— Почему вы думаете, Антонида Ивановна, что я избегаю вашего общества? — спрашивал Привалов. — Наоборот, я с таким удовольствием слушал ваше пение сейчас... Могу сказать откровенно, что никогда ничего подобного не слышал.

Антонида Ивановна внимательно посмотрела на Привалова, накинула на плечи оренбургский платок из козьего пуха и проговорила с ленивой улыбкой:

— Я не понимаю, как это хочется мужчинам говорить вечно одно и то же... Неужели нельзя обойтись без комплиментов?

Они прошли в знакомую Привалову голубую гостиную, но на этот раз Антонида Ивановна села очень далеко от своего гостя.

— Вы не рассказали мне еще о своем визите к Ляховским, — заговорила хозяйка, вздрагивая и кутаясь в свой платок. — А впрочем, нет, не рассказывайте... Вперед знаю, что и там так же скучно, как и везде!.. Не правда ли?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать этим?

— Ах, самую простую вещь, Сергей Александрыч... Посмотрите кругом, везде мертвая скука. Мужчины убивают время, по крайней мере, за картами, а женщинам даже и это плохо удается. Я иногда завидую своему мужу, который бежит из дому, чтобы провести время у Зоси. Надеюсь, что там ему веселее, чем дома, и я нисколько не претендую на него...

Привалов заговорил что-то об удовольствиях, о чтениях, о занятиях, но Антонида Ивановна неожиданно прервала его речь вопросом:

— Послушайте, когда ваша свадьба?

— Какая свадьба?

— Да ведь вы женитесь на Nadine Бахаревой. Это решительно всем в городе известно,

и я, право, от души рада за вас. Nadine отличная девушка, серьезная, образованная. Она резко выделяется из всех наших барышень.

— Послушайте, Антонида Ивановна, — серьезно заговорил Привалов. — Я действительно глубоко уважаю Надежду Васильевну, но относительно женитьбы на ней и мысли у меня не было.

— Неправда.

— Совершенно серьезно говорю.

— О, это пустяки. Все мужчины обыкновенно так говорят, а потом преспокойнейшим образом и женятся. Вы не думайте, что я хотела что-нибудь выпытать о вас, — нет, я от души радуюсь вашему счастью, и только. Обыкновенно завидуют тому, чего самим недостает, — так и я... Муж от меня бежит и развлекается на стороне, а мне остается только радоваться чужому счастью.

— Вы ошибаетесь, Антонида Ивановна, уверяю вас. Есть обстоятельства, которые... Одним словом, я никогда не женюсь.

Антонида Ивановна долгим, внимательным взглядом посмотрела на Привалова, но ничего не отвечала и только плотнее — вме-

сте с шеей — укуталась в свой платок. Привалов еще никогда не видел Половодову такой красивой. В его ушах еще стояла давешняя песня, а тут этот странный тон разговора... Привалов почувствовал себя как-то жутко хорошо около Антониды Ивановны и с особенным удовольствием испытывал на себе теплоту ее пристального ленивого взгляда Невольная грусть, которая слышалась в ее разговоре, отвечала невеселому настроению Привалова, и он горячо пожал Антониде Ивановне на прощанье руку.

Вечером этого дня, когда Антонида Ивановна вошла в спальню своей maman, она имела самый утомленный и жалкий вид. Тяжело опустившись на ближайший стул, она с заметным усилием едва могла проговорить:

— Бревно этот ваш Привалов, и больше ничего.

Агриппина Филипьевна пытливо и вопросительно посмотрела на дочь, а потом спокойно ответила:

— Нужно иметь терпение, мой друг...

— Александр был здесь?

— Был. Представь себе: захватил с собой

Оскара, и вместе отправились к Ляховскому. Оказывается, что это уже не первый их визит туда.

— Решительно ничего не понимаю, maman...

— И я тоже; но все-таки согласись, что очень и очень странно. Что может делать этот идиот Оскар у Ляховского?

Почтенная дама только пожала плечами и сделала презрительную гримасу.

Глава 35

В последнее время Надежда Васильевна часто бывала у Ляховских; Привалов встречался с ней там, когда в свободное от занятий время с Ляховским заходил на половину Зоси. Там собиралось шумное молодое общество, к которому примкнул и дядюшка Оскар Филипыч, необыкновенно смешно рассказывавший самые невинные анекдоты.

— Мы вас все будем называть дядюшкой, Оскар Филипыч, — говорила Зося.

— И отлично... — соглашался дядюшка. — Я буду очень любить такую племянницу, как вы.

Дядюшка в качестве любезника старой

школы почтительно целовал каждый раз руку Зоси и забавно шаркал ножкой. Половодов служил коноводом и был неистощим в изобретении маленьких летних удовольствий: то устраивал ночное катанье на лодках по Узловке, то маленький пикник куда-нибудь в окрестности, то иллюминовал старый приваловский сад, то садился за рояль и начинал играть вальсы Штрауса, под которые кружилась молодежь в высоких залах приваловского дома. Виктор Васильич был правой рукой Половодова и слушался, как собака, каждого его движения. Особенно смешил всех дядюшка, который боялся лошадей и воды и так забавно танцевал вальс в два па, как его танцуют только старики.

Это шумное веселье было неожиданно прервано появлением нового лица. Однажды, когда Привалов занимался с Ляховским в его кабинете, старик, быстро сдвинув очки на лоб, проговорил:

— Вы видели Лоскутова? Максима Лоскутова?

— Нет...

— Ну, так вы, батенька, ничего не видели;

это unicus[28] в своем роде... Да, да. Наш доктор отыскал его... Замечательная голова: философ, ученый, поэт — все, что хотите, черт его знает, чего он только не учил и чего не знает! В высшей степени талантливая натура. И очень благодарен доктору за этот подарок.

Привалов рассмеялся.

— Чего вы смеетесь? Конечно, подарок, а то как же? Мы, сидя в Узле, совсем заплесневели, а тут вдруг является совершенно свежий человек, с громадной эрудицией, с оригинальным складом ума, с замечательным даром слова... Вы только послушайте, как Лоскутов говорит...

Ляховский сделал кислое лицо и как-то пожидовски расставил руки.

— Для нас этот Лоскутов просто находка, — продолжал развивать свою мысль Ляховский. — Наши барышни, если разобрать хорошенько, в сущности, и людей никаких не видали, а тут смотри, учись и стыдись за свою глупость. Хе-хе... Посмотрели бы вы, как они притихнут, когда Лоскутов бывает здесь: тише воды, ниже травы. И понятно: какие-нибудь провинциальные курочки, этакие цып-

лятки — и вдруг настоящий орел... Да вы только посмотрите на него: настоящая Азия, фаталист и немного мистик.

— Вы так много насказали про Лоскутова, Игнатий Львович, что я даже немного начинаю бояться его, — пошутил Привалов.

— Я сам его боюсь... Да...

Старик поднялся со своего кресла, на цыпочках подбежал притворить двери кабинета, еще раз огляделся кругом и, наклонившись к самому уху Привалова, шепотом говорил:

— Лоскутов был в чем-то замешан... Понимаете — замешан в одной старой, но довольно громкой истории!.. Да... Был в административной ссылке, потом объехал всю Россию и теперь гостит у нас. Он открыл свой прииск на Урале и работает довольно счастливо... О, если бы такой человек только захотел разбогатеть, ему это решительно ничего не стоит.

— А сам-то по себе кто такой этот Лоскутов?

— Да бог его знает... Он, кажется, служил в военной службе раньше... Я иногда, право, боюсь за моих девочек: молодо-зелено, как раз и

головка закружится, только доктор все успокаивает... Доктор прав: самая страшная опасность та, которая подкрадывается к вам темной ночью, тишком, а тут все и всё налицо. Девочкам во всяком случае хороший урок... Как вы думаете?

Не дождавшись ответа Привалова, Ляховский вдруг громко захохотал и даже, схватившись за живот руками, забегал, как сумасшедший, по кабинету. Привалов так привык к выходкам этого странного человека, что даже не обиделся на такой странный оборот разговора. Задыхаясь от смеха, Ляховский несколько раз раскрывал рот, чтобы что-то сказать и объяснить Привалову, но только махал безнадежно руками и опять начинал хохотать. На его лбу очки так и прыгали, на висках вспухли толстые синие жилы, и из глаз катились слезы, только приступ удушливого кашля остановил этот гомерический смех, и Ляховский мало-помалу успокоился.

— Сергей Александрыч, извините меня... Ха-ха... — заливался старик, вытирая глаза платком. — Вы только представьте себе картину... О-ха-ха!.. Ох, задохся!.. Вы представьте

себе... Половодов... ха-ха-ха!.. Ведь вы знаете, что за человек Половодов: делец в нынешнем вкусе и бонвиван par excellence,[29] и вдруг он встречается с Лоскутовым... Ха-ха-ха!.. Ничего подобного в жизни своей не встречал... Все равно что свести волка с собакой, так и Лоскутова с Половодовым... Александр Павлыч, бедняжка, совсем утратил все свои достоинства и снизошел до последней степени унижения: начал сердиться на Лоскутова за то, видите ли, что тот в тысячу раз умнее его... А у девочек так глазки и разгорелись: ведь поняли, в чем дело, без слов поняли. Это, батенька, целая школа: один такой урок на целую жизнь хватит... Да! И представьте себе: этот самый Александр Павлыч, милый и обязательный человек во всех отношениях, глубоко убежден, что Лоскутов жалкий авантюрист, как сказочная ворона, щеголяющая в павлиньих перьях...

— А Лоскутов давно живет на Урале?

— Да как вам сказать: год... может быть полтора, и никак не больше. Да пойдемте, я вас сейчас познакомлю с Лоскутовым, — предлагал Ляховский, — он сидит у Зоси...

Привалов испытал некоторое волнение, когда они входили в гостиную Зоси, оттуда доносились громкие голоса. Ляховский бежал трусцой и несколько раз взбил свой кок на голове. Когда они вошли в гостиную, Привалов в первую минуту не заметил, кого искал глазами. На синем атласном диване с тяжелыми шелковыми кистями сидела Зося, рядом с ней, на таком же атласном стуле, со стеганой квадратами спинкой, помещалась Надежда Васильевна, доктор ходил по комнате с сигарой в зубах, заложив свои большие руки за спину. На столе перед диваном в беспорядке стояли чашки с простывшим недопитым кофе и лежала раскрытая книга.

— Максим Лоскутов... — проговорил Ляховский с особенной, крикливой ноткой в голосе.

Из низкого голубого кресла поднялся среднего роста господин и протянул Привалову руку. Это и был Максим Лоскутов. На вид ему можно было дать лет тридцать пять; узкое бледное лицо с небольшой тощей бородкой было слегка тронуто оспой, густые, сросшиеся брови и немного вздернутый нос делали его положительно некрасивым. Только большой

белый лоб, прикрытый спутанными мягкими темными волосами, да усталый, точно надломленный взгляд больших глаз с приподнятыми внешними углами придавали этому лицу характерный отпечаток. Такие лица не забываются. Небольшая, но плотная фигура Лоскутова, с медленными, усталыми движениями, обличала большую силу и живучесть; короткая кисть мускулистой руки отвечала Привалову крепким пожатием, а светло-карие глаза, того особенного цвета, какой бывает только у южан, остановились на нем долгим внимательным взглядом Темная визитка Лоскутова, покрытая кое-где пылью и пухом, и смятая сорочка свидетельствовали о вкусах своего хозяина, который, очевидно, не переменил костюма с дороги.

— Ну, я не буду вам мешать, — торопливо заговорил Ляховский. — У меня бездна дел...

В гостиной воцарилось на минуту принужденное, тяжелое молчание. Привалов чувствовал себя лишним в этом интимном кружке и напряженно молчал.

— Хотите кофе? — предлагала Ляховская.

Привалов отказался.

— Я просил бы вас продолжать ваш прежний разговор, — заметил он, — если только я не мешаю...

— Нет, зачем же мешать, — ответил за них Лоскутов.

Глава 36

В кабинете Ляховского весело и дружелюбно беседовали с хозяином Половодов и «дядюшка». Особенным оживлением отличался сегодня Половодов. Он фамильярно трепал дядюшку по плечу и старался разогнать в Ляховском те минуты сомнений, которые оставляли на его лбу глубокие морщины и заставляли брови плотно сдвигаться. Ляховский, очевидно, не решался на что-то, чего домогался Половодов; дядюшка держался в стороне и только напряженно улыбался, сохраняя свой розово-херувимский вид.

— Да уж вы, Игнатий Львович, не беспокойтесь, — объяснил Половодов, широко расставляя свои длинные ноги, точно последнее было самым неопровержимым аргументом.

— Я и не беспокоюсь... Нет, не беспокоюсь, — отвечал Ляховский, ерзая в своем ободранном кресле.

— Оскар Филипыч знает все... — проговорил наконец Половодов, любивший одним ударом разрешать все недоумения.

— Как все? Что такое все? — как-то жалко залепетал Ляховский, испытующе переводя глаза с Половодова на дядюшку. — Кажется, между нами нет никаких особенных секретов...

Половодов неестественно захохотал, запрокинув голову назад, а потом самым беззаботным голосом проговорил:

— Не беспокойтесь и не сомневайтесь, дорогой Игнатий Львович. Вы можете быть совершенно откровенны с Оскаром Филипычем: я объяснил ему все относительно приваловской опеки...

Эти слова для Ляховского были ударом грома, и он только бессильно съежился в своем кресле, как приколотый пузырь. Дядюшка принял серьезный вид и вытянул губы.

— Прежде чем объяснить все всякому постороннему человеку, вам не мешало бы посоветоваться со мною, Александр Павлыч, — глухо заговорил Ляховский, подбирая слова. — Может быть, я не желаю ничьего посто-

роннего вмешательства... Может быть, я не соглашусь посвящать никого в мои дела! Может быть... наконец...

— Э, батенька, перестаньте ломать комедию! — с сердцем перебил его Половодов, делая злые глаза. — Вы меня знаете, и я вас хорошо знаю... Что же еще представляться!

— Вы слишком много себе позволяете, Александр Павлыч... я... я.

— Послушайте, Игнатий Львович, — настойчиво продолжал Половодов. — Если я доверился Оскару Филипычу, следовательно, вы можете ему доверять, как мне самому...

«Дурак, дурак и дурак! — с бешенством думал Ляховский, совсем не слушая Половодова. — Первому попавшемуся в глаза немчурке все разболтал... Это безумие! Ох, не верю я вам, никому не верю, ни одному вашему слову... Продадите, обманете, подведете...»

— Я ничего не знаю и умею молчать... — заявил с своей стороны дядюшка, прерывая общее тяжелое молчание.

— Мне до вас решительно никакого нет дела!.. — резко отозвался Ляховский, вскакивая с кресла. — Будете вы говорить или мол-

чать — это меня нисколько не касается! Понимаете: нисколько!..

— Однако так нельзя вести дело, Игнатий Львович, — уговаривал Половодов, — я вас предупреждал, и вы сами согласились...

— Вы лжете!.. Я ни на что не соглашался и не мог согласиться.

Половодов только засвистал, а Ляховский бросился в кресло и враждебным взглядом смерил дядюшку с ног до головы. Беззвучно пожевав губами и поправив кок на голове, Ляховский быстро обратился к дядюшке:

— Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь?

— О, отлично надеюсь...

— «Отлично надеюсь»! — передразнил Ляховский. — Вы говорить-то сначала выучитесь по-русски... Не сегодня-завтра Веревкин отправится хлопотать по опеке, ну, на что же вы надеетесь, позвольте полюбопытствовать?

— Конечно, не на себя, Игнатий Львович, — деловым тоном отвечал немец. — Я — маленький человек, и вы и Александр Павлыч — все мы маленькие люди... А где ма-

ленькие мухи запутываются в паутине, большие прорывают ее.

Ляховский пожевал губами, потер лоб рукой и проговорил:

— А вы знаете, что большие мухи любят брать большие куски?

— Из двух зол нужно выбирать меньшее: или лишиться всего, или пожертвовать одной частицей...

— Что же вы думаете делать?

— Для вас прежде всего важно выиграть время, — невозмутимо объяснял дядюшка, — пока Веревкин и Привалов будут хлопотать об уничтожении опеки, мы устроим самую простую вещь — затянем дело Видите ли, есть в Петербурге одна дама. Она не куртизанка, как принято понимать это слово, во только имеет близкие сношения с теми сферами, где...

— Короче — у нее бывают большие люди? — перебил Ляховский, нетерпеливо ежа свои острые плечи...

— Именно... Если она возьмется за это дело, тогда можно все устроить, решительно все!..

— Но ведь ей нужно платить, этой вашей даме... — застонал Ляховский, хватаясь за голову, — понимаете: пла... тить!!

— Она берет известный процент с предприятия, смотря по обстоятельствам: пять, десять... Вообще неодинаково!.. Придется, конечно, сделать небольшой авансик, пустяки — каких-нибудь пятнадцать-двадцать тысяч единовременно.

— О-о! — завопил Ляховский, точно у него вырывали зуб — Нет, благодарю вас... У меня и денег таких нет! Довольно, довольно...

— Игнатий Львович, что же вы в самом деле? — вступился Половодов. — Дайте хоть рассказать хорошенько, а там и неистовствуйте, сколько душе угодно!

— Я согласен, что двадцать тысяч довольно круглая цифра, — невозмутимо продолжал дядюшка, потирая руки. — Но зато в какой безобидной форме все делается... У нее, собственно, нет официальных приемов, а чтобы получить аудиенцию, необходимо прежде похлопотать через других дам...

— Которым тоже нужно платить!! — вскричал Ляховский, скрипя зубами.

— Да, тысячи три-четыре...

— Да за что же? за что?

— Как за что? — удивился дядюшка. — Да ведь это не какие-нибудь шлюхи, а самые аристократические фамилии. Дом в лучшей улице, карета с гербами, в дверях трехаршинный гайдук, мраморные лестницы, бронза, цветы. Согласитесь, что такая обстановка чего-нибудь да стоит?..

— Стоит, стоит... Ужасно много стоит! — стонал Ляховский.

Ляховский до того неистовствовал на этот раз, что с ним пришлось отваживаться. Дядюшка держал себя невозмутимо и даже превзошел самого Альфонса Богданыча. Он ни разу не повысил тона и не замолчал, как это делал в критические минуты Альфонс Богданыч.

— Да скажите же, ради бога: вы из папье-маше, что ли, сделаны? — кричал Ляховский, тыкая дядюшку пальцем.

После страшной борьбы Ляховский наконец согласился с теорией дядюшки «затянуть дело», но все приставал с вопросом:

— А как я могу вас проверить, Оскар Фили-

пыч? Ну, скажите: как?

— Я вам представлю расписки от самой, — невозмутимо отвечал дядюшка.

— Вы сами напишете?!..

Выйдя от Ляховского, дядюшка тяжело вздохнул и отер лоб платком; Половодов тоже представлял из себя самый жалкий вид и смотрел кругом помутившимися глазами.

— Это сам дьявол, а не человек, — проговорил наконец дядюшка, когда они вышли из подъезда.

— Хуже дьявола... — согласился Половодов, шаркая ногами. — А все-таки на нашей улице будет праздник...

— Но чего это стоит!.. — вздохнул дядюшка; он был бледен и жалко мигал глазами.

Основной план действия Половодов и дядюшка, конечно, не открыли Ляховскому, а воспользовались им только для первого шага, то есть чтобы затянуть дело по опеке.

Глава 37

Вечерние посещения бахаревского дома Привалову уже не доставляли прежнего удовольствия. Та же Павла Ивановна с своим вечным вязаньем, та же Досифея, та же Ма-

рья Степановна с своими воспоминаниями, когда люди жили «по-истовому». Это однообразие нарушалось только появлением Верочки, которая совсем привыкла к Привалову и даже вступала с ним в разговор, причем сильно краснела каждый раз и не знала, куда девать руки. Привалову нравилось разговаривать с этой свежей, нетронутой девушкой, которая точно заражала своей молодостью даже степенные покои Марьи Степановны.

— У нас скучно, — говорила Верочка, несмело взглядывая на Привалова.

— Почему скучно?

— Да так... Никого не бывает почти.

— А знакомые?

— Да кто у нас знакомые: у папы бывают золотопромышленники только по делам, а мама знается только со старухами да старцами. Два-три дома есть, куда мы ездим с мамой иногда; но там еще скучнее, чем у нас. Я замечала, что вообще богатые люди живут скучнее бедных. Право, скучнее...

— А ведь это верно, — засмеялся Привалов. — А если бы вам предложили устроить все по-своему, вы как бы сделали?

Верочка не ожидала такого вопроса и недоверчиво посмотрела на Привалова; но его добродушный вид успокоил ее, и она наивно проговорила:

— Я бы устроила так, чтобы всем было весело... Да!.. Мама считает всякое веселье грехом, но это неправда Если человек работает день, отчего же ему не повеселиться вечером? Например: театр, концерты, катание на тройках... Я люблю шибко ездить, так, чтобы дух захватывало!

— Вы разве не бываете в театре?

— Очень редко... Ведь мама никогда не ездит туда, и нам приходится всегда тащить с собой папу. Знакомых мало, а потом приедешь домой, — мама дня три дуется и все вздыхает. Зимой у нас бывает бал... Только это совсем не то, что у Ляховских. Я в прошлом году в первый раз была у них на балу, — весело, прелесть! А у нас больше купцы бывают и только пьют...

Мало-помалу Привалов вошел в тот мир, в каком жила Верочка, и он часто думал о ней: «Какая она славная...» Надежда Васильевна редко показывалась в последнее время, и ес-

ли выходила, то смотрела усталою и скучающею. Прежних разговоров не поднималось, и Привалов уносил с собой из бахаревского дома тяжелое, неприятное раздумье.

Раз, когда Привалов тихо разговаривал с Верочкой в синей гостиной, издали послышались тяжелые шаги Василия Назарыча. Девушка смутилась и вся вспыхнула, не зная, что ей делать. Привалов тоже почувствовал себя не особенно приятно, но всех выручила Марья Степановна, которая как раз вошла в гостиную с другой стороны и встретила входившего Василия Назарыча. Старик, заметив Привалова, как-то немного растерялся, а потом с улыбкой проговорил:

— Ну, ты что же ко мне-то не заходишь?

— Да вы все были заняты, Василий Назарыч...

— Занят-то занят — это верно, а ты заходи.

Старик остался в гостиной и долго разговаривал с Приваловым о делах по опеке и его визитах к опекунам. По лицу старика Привалов заметил, что он недоволен чем-то, но сдерживает себя и не высказывается. Вообще весь разговор носил сдержанный, натянутый

характер, хотя Василий Назарыч и старался казаться веселым и приветливым по-прежнему.

— А где же Надя? — спросил старик Марью Степановну.

— Да ей нездоровится что-то... — подобрав губы, ответила Марья Степановна. — Все это от ваших книжек: читает, читает, ну и попритчится что ни на есть.

Бахарев рассмеялся и, взглянув на Вероч-ку, любовно проговорил:

— Ну, а ты, коза, «в книжку не читаешь»?

— Оставь ты ее, ради Христа, — вступилась Марья Степановна за свою любимицу, которая до ушей вспыхнула самым ярким румянцем.

После этой сцены Привалов заходил в кабинет к Василию Назарычу, где опять все время разговор шел об опеке. Но, несмотря на взаимные усилия обоих разговаривавших, они не могли попасть в прежний хороший и доверчивый тон, как это было до размолвки. Когда Привалов рассказал все, что сам узнал из бумаг, взятых у Ляховского, старик недоверчиво покачал головой и задумчиво прого-

ворил:

— Все это не то... нет, не то! Ты бы вот на заводы-то сам съездил поскорее, а поверенного в Мохов послал, пусть в дворянской опеке наведет справки... Все же лучше будет...

У Ляховского тоже было довольно скучно. Зося хмурилась и капризничала. Лоскутов жил в Узле вторую неделю и часто бывал у Ляховских. О прежних увеселениях и забавах не могло быть и речи; Половодов показывался в гостиной Зоси очень редко и сейчас же уходил, когда появлялся Лоскутов. Он не переваривал этого философа и делал равнодушное лицо.

— Отчего вы не любите Максима? — допытывалась Зося, но Половодов только поднимал плечи и издавал неопределенное мычание.

Скоро Привалов заметил, что Зося относится к Надежде Васильевне с плохо скрытой злобой. Она постоянно придиралась к ней в присутствии Лоскутова, и ее темные глаза метали искры. Доктор с тактом истинно светского человека предупреждал всякую возможность вспышки между своими ученицами и

смотрел как-то особенно задумчиво, когда Лоскутов начинал говорить. «Тут что-нибудь кроется», — думал Привалов.

Однажды, в середине июля, в жаркий летний день, Привалов долго и бесцельно бродил по саду, пока не устал и не забрался в глубину сада, в старую, обвалившуюся беседку. Он долго мечтал здесь, не замечая, как бежало время. Тихий разговор вывел его из задумчивости. Кто-то шел по узенькой аллее прямо к нему. Едва он успел сообразить всю невыгодность своей позиции, как из-за шпалеры темно-зеленых пихт показалась стройная фигура Надежды Васильевны; она шла рядом с Лоскутовым. Привалов хотел выйти из своей засады, но почему-то остался на месте и только почувствовал, как встрепенулось у него в груди сердце.

— Сядем здесь, Максим... Я устала, — послышался голос Надежды Васильевны, и затем она сейчас же прибавила: — Я не желала бы встретить Привалова.

— Почему? — спрашивал Лоскутов, усаживаясь прямо на траву. — Он мне нравится... Очень хороший человек.

Привалов очутился в некоторой засаде, из которой ему просто неловко было выйти. «Сядем» — резнуло его по уху своим слишком дружеским тоном, каким говорят только с самыми близкими людьми.

— Привалов действительно хороший человек, — соглашалась девушка, — но нам с тобой он принес немало зла. Его появление в Узле разрушило все планы. Я целую зиму подготовляла отца к тому, чтобы объявить ему... ну, что мы...

Надежда Васильевна тихо засмеялась, и до Привалова долетел звук поцелуев, которыми она награждала философа. Вся кровь бросилась в голову Привалова, и он чувствовал, как все закружилось около него.

— Я все-таки не понимаю, чем тут провинился Привалов, — сказал Лоскутов.

— А тем и провинился, что отец и мать сходят с ума от одной мысли породниться с Приваловым...

— Да ведь отец, кажется, разошелся с ним?

— Разошелся... Но ведь ты не знаешь совсем, что за человек мой отец. Теперь он действительно очень недоволен Приваловым, но

это еще ничего не значит. Привалов все-таки остается Приваловым.

— Именно?

— Именно? — повторила Надежда Васильевна вопрос Лоскутова. — А это вот что значит: что бы Привалов ни сделал, отец всегда простит ему все, и не только простит, но последнюю рубашку с себя снимет, чтобы поднять его. Это слепая привязанность к фамилии, какое-то благоговение перед именем... Логика здесь бессильна, а человек поступает так, а не иначе потому, что так нужно. Дети так же делают...

— Но ведь это не дети, Надя...

— Разница в том, что у этих детей все средства в руках для выполнения их так нужно. Но ведь это только со стороны кажется странным, а если стать на точку зрения отца — пожалуй, смешного ничего и нет.

Часть III

Глава 38

В бахаревском доме царствовала особенная, зловещая тишина, и все в доме чувствовали на себе ее гнет.

Сумрачный и неприветливый сидит в своей каморке старый Лука. С утра до вечера теперь брюзжит и ворчит старик и, чтобы разогнать скуку, все что-нибудь чистит: то ручку у дверей, то шарниры, то бронзовую накладку с надписью: «Для писем и газет». Последнюю Лука чистит с особенным ожесточением, точно старается ее задобрить. Железный ящик, прикрепленный к двери с внутренней стороны, в глазах Луки имеет какое-то особенное, таинственное значение: из этого небольшого ящика налетают на бахаревский дом страшные минуты затишья, и Лука с суеверным страхом подходит к нему каждое утро.

Однажды, когда Лука принес письмо, Василий Назарыч особенно долго читал его, тер себе рукой больное колено, а потом проговорил:

— Ну, Лука, наши с тобой дела плохи...

У Луки екнуло сердце от этих слов, и он раскрыл рот, приготовившись выслушать неприятное известие.

— На Варваринском прииске плохо, — объяснил Василий Назарыч, не глядя на старика. — Значит, летом нам работать негде будет...

Вот с этого времени и сделалось в бахаревском доме особенно тихо, точно кто придавил рукой прежнее веселье. Начиналась уже осень, хотя еще стоял август. Было два таких холодных утренника, что весь бахаревский сад покрылся желтыми пятнами, а цветник во дворе почернел совсем. Дни становились короче, а по ночам поднимался сильный ветер, который долго-долго гудел в саду, перебирая засохшие листья и со свистом врываясь в каждую щель. Суеверный Лука крестится и творит молитву, когда хлопнет железным листом на крыше или завоет в трубе. Сейчас же за стеной был кабинет Василия Назарыча, и старик далеко за полночь прислушивался к каждому звуку, доносившемуся к нему оттуда. Василий Назарыч тоже подолгу не спит по ночам и все что-то пишет и откладывает на

счетах. «Ох! Все это от проклятых писем», — думает про себя Лука, прислушиваясь к каждому звуку.

Днем старику как будто веселее, и он все поглядывает через двор, в людскую, где всем верховодит немая Досифея У Марьи Степановны не было тайн от немой, и последняя иногда делилась ими с Лукой, хотя с большой осторожностью, потому что Лука иногда мог и сболтнуть лишнее, особенно под пьяную руку. Придет Лука в кухню, подсядет к самому столу, у которого командует Досифея, и терпеливо ждет, когда она несколькими жестами объяснит все дело. Здесь Лука узнал, что у «Сереженьки» что-то вышло с старшей барышней, но она ничего не сказывает «самой»; а «Сереженька» нигде не бывает, все сидит дома и, должно быть, болен, как говорит «сама».

— Которая уж неделя пошла... — вздыхает Лука.

Старик, под рукой, навел кое-какие справки через Ипата и знал, что Привалов не болен, а просто заперся у себя в комнате никого не принимает и сам никуда не идет. Вот уж третья неделя пошла, как он и глаз не кажет

в бахаревский дом, и Василий Назарыч несколько раз справлялся о нем.

— Сам то ничего не знает, — объясняла Досифея, — и никто не знает...

Глава 39

Однажды, когда Лука особенно сильно хандрил с раннего утра и походя грыз Игоря, сильный звонок у подъезда просто взбесил степенного старика.

— Кого это черт принес! — ругался Лука, нарочно медля отворить двери. — Точно на пожар трезвонит... Наверно, аблакат какой-нибудь, прости ты меня, истинный Христос!

Звонок повторился с новой силой, и когда Лука приотворил дверь, чтобы посмотреть на своего неприятеля, он даже немного попятился назад: в дверях стоял низенький толстый седой старик с желтым калмыцким лицом, приплюснутым несом и узкими черными, как агат, глазами. Облепленный грязью татарский азям и смятая войлочная шляпа свидетельствовали о том, что гость заявился прямо с дороги.

— Господи Исусе Христе... — ужаснулся Лу-

ка, отступая из своей позиции, и прибавил: — Да ведь это никак ты, Данила Семеныч?..

— А ты возьми глаза-то в зубы, да и посмотри, — хрипло отозвался Данила Семеныч, грузно вваливаясь в переднюю. — Что, не узнал, старый хрен? Девичья память-то у тебя под старость стала... Ну, чего вытаращил на меня шары-то? Выходит, что я самый и есть.

Гость хрипло засмеялся, снял с головы белую войлочную шляпу и провел короткой пухлой рукой по своей седой щетине.

— Данила Семеныч... голубчик... Да откедова ты взялся-то? — взметался Лука. — Угодники-бессребреники... Зачем ты приехал-то?

— Ну, ну, запричитал, старый хрен... Не с неба упал на тебя!.. Завтра двадцатый день пойдет, как с Саяна...

— С прииску?

— Обнаковенно... А то откуда?.. Ну, да нечего с тобой бобы-то разводить... Старик-то дома?

— Дома, дома...

— Ну, я к нему сейчас... пойду...

— Ну, уж я тебя в таком виде не пущу, Данила Семеныч. Ты хоть образину-то умой на-

перво, а то испугаешь еще Василия-то Назарыча. Да приберись малость, — вон на тебе грязищи-то сколько налипло...

— Грязцы точно что захватил дорогой-то... Не раздеваясь, гнал три недели!.. Рука даже опухла от подзатыльников ямщикам... Ей-богу!..

— Да ну тебя, подь ты к чомору! — отмахивался Лука, затаскивая гостя в свою каморку. — Все у тебя, Данила Семеныч, хихи да смехи... Ты вот скажи, зачем к нам объявился-то?

— Объявился — и вся тут, — коротко сказал Данила Семеныч, с трудом стаскивая с своих богатырских плеч стоявший лубом азям, под которым оказался засаленный татарский бешмет из полосатой шелковой материи.

— Ох, чует мое сердечушко, што не к добру ты нагрянул, — причитал Лука, добывая полотенце из сундучка. — Василий-то Назарыч не ждал ведь тебя, даже нисколько не ждал, а ты, на-поди, точно снег на голову...

— Я люблю скоро все делать...

— Хошь бы письмо написал, што ли... Ведь

много писал... Я сам носил твои-то письма к барину!

— Раньше писал, а теперь не о чем... Да письмо долго, а я живой ногой долетел. Нет ли у тебя пропустить чего-нибудь? Горло пересохло...

— Да ведь ты дорогой-то, поди, на каждом станке прикладывался? Вон, глаза-то совсем заплыли...

— Был и такой грех, Лука, был грех...

— Знаю, знаю: как приехал в город, сейчас и зарядил? Хе-хе-хе...

Данила Семеныч только бессильно махнул рукой и принялся умываться. Лука долго и безмолвно следил за процессом умыванья, а потом что-то вспомнил и торопливо выбежал из каморки.

— Куда ты потащился? — спрашивал Данила Семеныч, намыливая свои жилистые бронзовые руки.

— Сейчас, сейчас... обожди малость; я живой ногой.

— Ты смотри, не болтай самой-то...

Но Лука не слышал последних слов и на всех парах летел на половину Марьи Степа-

новны. Добежав до комнаты Надежды Васильевны, старик припал к замочной скважине и прошептал:

— Барышня, а барышня... На один секунд...

— Чего тебе, Лука? — отозвалась Надежда Васильевна, показываясь в дверях.

— Матушка, барышня, да тот приехал, эфиоп-то наш... Ей-богу! У меня в каморке сидит...

— Да кто приехал?

— Ах, угодники-бессребреники!.. Да Данила Семеныч приехал... А уж я по его образине вижу, што он не с добром приехал: и черт чертом, страсть глядеть. Пожалуй, как бы Василия-то Назарыча не испужал... Ей-богу! Вот я и забежал к вам... потому...

Надежда Васильевна, не слушая болтовни Луки, торопливо шла уже в переднюю, где и встретилась лицом к лицу с самим Данилой Семенычем, который, очевидно, уже успел пропустить с приезда и теперь улыбался широчайшей, довольной улыбкой, причем его калмыцкие глаза совсем исчезали, превращаясь в узкие щели.

— Ах, старый хрен, успел уж набрехать по всему дому, — проговорил он, косясь на Лу-

ку. — Здравствуйте, барышня... Хорошеете, сударыня, да цветете.

Данила Семеныч поцеловал руку, которую ему протянула Надежда Васильевна, и прибавил самым невинным тоном:

— А вот я и приехал... Да.

— Да с чем приехали-то, Данила Семеныч?

— А так... делать больше нечего на приисках, ну я и махнул.

— Как нечего делать?

— Да так...

Данила Семеныч сделал выразительный жест рукой и опять засмеялся.

— Дрянь дело, Надежда Васильевна... За папенькой вашим приехал.

— Вы одну минуту подождите здесь, — проговорила Надежда Васильевна, оставляя гостя в зале. — Я сейчас проведаю папу, он, кажется, не совсем здоров...

Василий Назарыч сидел в своем кресле и просматривал последний номер газеты. Подняв глаза, он улыбнулся дочери и протянул ей руку.

— Я думала, что у тебя сидит доктор, — солгала Надежда Васильевна, не зная, как ей

приступить к делу.

— Доктор заезжает вечером, а теперь полдень...

— Ну, а что твоя нога, папа?

— К весне доктор обещает ее починить, голубчик. Только ведь смерть моя сидеть здесь без всякого дела...

— А ты не ждешь сюда Данилы Семеныча?

— Нет, а что?

— Я так спросила... Я из своей комнаты видела, точно он проехал к нам.

— Не может быть!..

— Мне показалось... Может быть, я ошибаюсь.

Старик тревожным взглядом посмотрел на дочь и потер свое больное колено. В это время из залы донесся хриплый смех Данилы Семеныча, и побледневший как полотно Бахарев проговорил:

— Да ведь он здесь, Надя... Это он хохочет?!..

— Да, он, папа... Мне можно побыть здесь, пока он будет у тебя?..

— Нет, голубка... после... вечером. Пошли его сюда.

Надежда Васильевна поцеловала отца в лоб и молча вышла из кабинета. Данила Семеныч, покачиваясь на своих кривых ногах, ввалился в кабинет.

— Ох, быть беде, барышня... — шептал Лука, провожая Надежду Васильевну. — Уж я верно вам говорю...

— Ты сиди пока здесь и слушай, — просила девушка, — я боюсь, чтобы с папой не сделалось дурно... Понял? Чуть что, сейчас же скажи мне.

— Будьте спокойны: в один секунд... Чуть ежели что — я живой ногой... А Данила неспроста приехал, я уж по его косым глазам вижу... Ей-богу!.. Ох-хо-хо!..

Глава 40

Только что Надежда Васильевна пришла в свою комнату, как почти сейчас же за нею прибежала Верочка, вся перепуганная и бледная. Она едва могла проговорить:

— Папа кричит так страшно... Надя, голубчик, беги скорее, ради бога, скорее!.. У них что-то произошло... Лука плачет... Господи, да что же это такое?!

Верочка тихо заплакала, закрыв лицо ру-

ками.

Когда Надежда Васильевна проходила по столовой, до нее донеслись чьи-то отчаянные крики: она не узнала голоса отца и бегом бросилась к кабинету. Отворив двери, Надежда Васильевна увидела такую картину: Данила Семеныч стоял в углу, весь красный, с крупными каплями пота на лбу, а Василий Назарыч, не помня себя от ярости, бросался из угла в угол, как раненый зверь. Он был страшен в эту минуту и с пеной у рта, сжав кулаки, несколько раз подступал к самому носу Данилы Семеныча. Взрыв бешенства парализовал боль в ноге, и старик с помутившимися глазами рвал остатки седых волос на своей голове.

— Ты меня зарезал... Понимаешь: за-резал... — неистово выкрикивал Василий Назарыч каким-то диким, страшным голосом. — На старости лет пустил по миру всю семью!.. Все погубил!!.. всех!!..

— Бог милостив, Василий Назарыч... — осмелился заметить Данила Семеныч, когда Надежда Васильевна показалась на пороге. — Поправимся...

— Поправимся?!.. Нет, я тебя сначала

убью... жилы из тебя вытяну!!.. Одно только лето не приехал на прииски, и все пошло кверху дном. А теперь последние деньги захватил Работкин и скрылся... Боже мой!!.. Завтра же еду и всех вас переберу... Ничего не делали, пьянствовали, безобразничали!!.. На кого же мне положиться?!..

Надежда Васильевна показала глазами Даниле Семенычу на дверь, и тот выполз из кабинета Наступило тяжелое молчание, показавшееся отцу и дочери вечностью. Девушка села на диван и ждала, пока отец, бегая по кабинету, продолжал неистовствовать, порываясь к двери, точно он хотел догнать Данилу Семеныча. Из бессвязного потока проклятий Надежда Васильевна узнала пока то, что последние деньги, какие были посланы Бахаревым на прииски, украдены бежавшим кассиром Работкиным. Она молчала, давая отцу полную волю излить свое бешенство; в такие минуты подступаться к нему — значило подливать масла в огонь. Эта сцена продолжалась с полчаса, пока наконец Василий Назарыч с глухими рыданиями не бросился в свое кресло. Гроза была на исходе, и Надежда Ва-

сильевна проговорила.

— Папа, зачем же ты так волнуешься? Ведь этим дела не поправить... Нужно успокоиться, а потом и обсудить все обстоятельства.

— У нас теперь одни обстоятельства: мы — нищие!! — закричал старик, опять вскакивая с своего кресла.

Но пароксизм бешенства заметно проходил. Слезы мешались с проклятиями и стонами, пока не перешли в то тяжелое, полусознательное состояние, когда человек начинает грезить наяву.

— Я один, один... — стонал Василий Назарыч, закидывая голову на спинку кресла. — Не на кого положиться... Ох, хоть бы умереть скорее!.. Нищета, позор... О, боже мой!!!

Глава 41

Данила Семенович Шелехов был крещеный киргиз, купленный еще дедом Сергея Привалова в одну из жестоких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители с большим удовольствием продали шустрого ребенка за мешок муки и пару плохих сапогов. Степняк-киргизенок, как пойманный зверек, был завезен сначала в Шатровские заводы, а

потом попал в Узел. В первое время он совсем затерялся в толпе многочисленной дворни и несколько лет прислуживал магнату-заводчику в качестве казачка. Уже подростком, когда старик Гуляев открыл свои прииски в Сибири, Шелехов попал к нему и там вышел на свою настоящую дорогу. Впоследствии он работал вместе с Бахаревым, который заведовал гуляевскими приисками, и вместе с ним перешел к Александру Привалову.

По своей натуре Шелехов остался настоящим степняком; его характер представлял самую пеструю смесь достоинств и недостатков. Предоставленный самому себе, он, вероятно, скоро бы совсем смотался в закружившем его вихре цивилизованной жизни, но его спасли золотые промыслы, которые по своей лихорадочной азартной деятельности как нельзя больше соответствовали его характеру. Здесь, на промыслах, у Шелехова выработалась та репутация, благодаря которой он сделался своим человеком в среде золотопромышленников. В поисках за золотом, на разведках по тайге и непроходимой глуши Шелехов был незаменимым человеком. Его железная нату-

ра, кажется, не знала, что такое усталость, и жить по целым месяцам в глубине тайги, по неделям спать под прикрытием полотняной палатки на снегу в горах, делать тысячеверстные экскурсии верхом — во всех этих подвигах Данила Шелехов не знал соперников. Затем долголетняя практика выработала у Шелехова известный «золотой инстинкт»: он точно чутьем знал, где в земле скрывается золото, и старый Бахарев часто советовался с ним в трудных случаях.

Но насколько хорош и незаменим был Шелехов на разведках, настолько же он был несносен и даже жалок во все остальное время, когда все дело сводилось на систематический, упорный труд. Шелехов мог работать только порывами, с изумительной энергией и настойчивостью, но к правильному труду он положительно был неспособен.

Самой замечательной способностью Шелехова было то, что, стоило ему только раз вырваться с прииска и попасть куда-нибудь в город, — он разом спускал все, что копил в течение нескольких лет. С ним не было в этих случаях никакого сладу, и Бахарев терпеливо

ждал того момента, когда у загулявшего Данилы Семеныча вылетит из кармана последний грош.

— Ну что, отзвонился? — спросит только Василий Назарыч, когда Шелехов наконец появится в его кабинете с измятым лицом и совсем оплывшими глазами.

— Совсем готов, Василий Назарыч...

— Оно и на душе легче; отзвонил — и с колокольни долой.

— В лучшем виде, Василий Назарыч; отпустили в чем мать родила.

Марья Степановна глубоко веровала в гений Данилы Семеныча. Она была убеждена, что у Шелехова от природы «легкая рука» на золото и что стоит ему только уйти с приисков, как все там пойдет шиворот-навыворот. Поэтому после вспышки со стороны Василия Назарыча Данила Семеныч увлекался на половину «самой», где его поили чаем, ублажали, и Марья Степановна снисходила даже до того, что из собственных рук подносила ему серебряную чарку анисовки. Эта чарка в глазах суеверной старухи имела особенное значение, потому что из нее кушал анисовку еще

сам Павел Михайлыч. Когда Шелехов прокучивал все и даже спускал с себя шелковый бешмет, ему стоило только пробраться на кухню к Досифее, и все утраченное платье являлось как по мановению волшебного жезла, а самого Данилу Семеныча для видимости слегка журили, чтобы потом опохмелить и обогреть по всем правилам раскольничьего гостеприимства.

Так и после бури в кабинете Василия Назарыча Шелехов пробрался на половину «самой», где его уже ждала чарка анисовки и кипевший на столе самовар.

— Што больно шумели там? — с приветливой строгостью спрашивала Марья Степановна, указывая глазами на половину мужа.

— Маненько побеседовали... — ухмыльнулся Шелехов, вытирая вспотевшее лицо платком.

— Хороша беседа, нечего сказать!

— Да уж такой случай вышел, матушка Марья Степановна. Ежели разобрать, так оно, пожалуй, следовало бы и поколотить за наши провинности...

— А много набедокурил там, на приис-

ках-то?

— Ох, и не спрашивай, голубушка Марья Степановна!..

— Народ разогнали?

— Разогнали...

— А еще-то што?

— Кассира-то, Работкина, помнишь? Ну, он, подлец, захватил последние денежки и удрал с ними... Уж я его искал-искал, — точно в воду канул.

— А все это водочка тебя, Данилушка, доводит до беды.

— Она, проклятая, — смиренно соглашался Данилушка. — Как теперь из беды выпутаемся — одному господу известно...

— А выпутывайся, коли умел попадаться, — наставительно заметила Марья Степановна.

Шелехов оглянулся осторожно кругом и, наклонившись к самому уху Марьи Степановны, своим сиплым хрипом прошептал:

— Местечко есть на примете, голубушка... Ох, хорошо местечко! Только я теперь самому-то ничего не сказал, пусть у него сперва сердце-то отойдет маненько. Бурят один спло-

ха натакался на местечко-то.

Это известие совсем успокоило старуху, и она ласково проговорила Данилушке:

— А ты бы поменьше водку-то трескал, отдохнуть бы ей дал а то ведь лица на тебе нет: все заплыло под один пузырь.

— Это от дороги, Марья Степановна... Ведь двадцать дён гнал сюды; так запаливал, в том роде, как генерал-губернатор.

За чаем Марья Степановна поведала своему Данилушке все свои огорчения и печали. Данилушка слушал, охал и в такт тяжелым вздохам Марьи Степановны качал своей победной буйной головушкой.

— А ты слышал про Сережу-то Привалова? — спрашивала Марья Степановна, когда Данилушка допивал уже третий стакан чаю.

— Нет, а што?

— Здесь он ноне живет, в Узле...

От этого известия Данилушка даже привскочил на месте и только проговорил:

— Как здесь?

— А так, приехал и живет.

— У вас-то бывает часто, поди?

— Раньше-то бывал, а вот теперь которую

неделю и глаз не кажет. Не знаю уж, што с ним такое попритчилось.

— Я так полагаю, што болесть какая прикинулась, — полувопросительно заметил Данилушка.

— Может, и болесть, а может, и нет, — таинственно ответила Марья Степановна и, в свою очередь, оглядевшись кругом, рассказала Данилушке всю историю пребывания Привалова в Узле, причем, конечно, упомянула и о контрах, какие вышли у Василия Назарыча с Сережей, и закончила свой рассказ жалобами на старшую дочь, которая вся вышла в отца и, наверно, подвела какую-нибудь штуку Сереже.

От Данилушки у Марьи Степановны не было семейных тайн свой человек был в доме, да и язык крепок, — хоть топором руби, не выдаст.

— Есть причина, беспременно есть, — глубокомысленно заметил Данилушка, почесывая затылок. — Видел я даве барышню нашу — прынцесса... Хошь кому не стыдно показать: как маков цвет цветет!

— Цветет-то она цветет, да кабы не отцве-

ла скоро, — с подавленным вздохом проговорила старуха, — сам знаешь, девичья краса до поры до время, а Надя уж в годах, за двадцать перевалило. Мудрят с отцом-то, а вот счастья господь и не посылает... Долго ли до греха — гляди, и завянет в девках. А Сережа-то прост, ох как прост, Данилушка. И в кого уродился, подумаешь... Я так полагаю, што он в мать, в Варвару Павловну пошел.

— Ужо я схожу к нему, — задумчиво сказал Шелехов.

— Сходи, Данилушка, проведай... Мне-то неловко к нему послов посылать, а тебе за попутьем сходить.

Глава 42

Привалов по целым часам лежал неподвижно на своей кушетке или, как маятник, бродил из угла в угол. Но всего хуже, конечно, были ночи, когда все кругом затихало и безысходная тоска наваливалась на Привалова мертвым гнетом. Он тысячу раз перебирал все, что пережил в течение этого лета, и ему начинало казаться, что все это было только блестящим, счастливым сном, который рассеялся как туман.

Хиония Алексеевна зорко следила за ним. Для нее было ясно, что с Приваловым случилось что-то необыкновенное, но что случилось — она не знала и терялась в тысяче предположений. Главное противоречие, сводившее ее с ума, заключалось в том, что Бахаревы ловили выгодного жениха, а выгодный жених давно таращил глаза на богатую невесту... Неужели же она отказала ему, Привалову, миллионеру? Нет, этого не могло быть! Это немыслимо... Не влюбился ли Привалов в Зосю? Нет ли у этой гордячки Nadine какой-нибудь таинственной истории, которую Привалов мог открыть как-нибудь случайно? Хиония Алексеевна напрасно билась своей остроумной головой о ту глухую стену, которую для нее представляли теперь эти ненавистные Бахаревы, Половодовы и Ляховские.

«Разве навестить Привалова под предлогом участия к его здоровью?» — думала иногда Хиония Алексеевна, но сейчас же откладывала в сторону эту вздорную мысль.

Она своими ушами слышала, что Привалов отдал Ипату категорический приказ решительно никого не принимать, даже Nicolas

Веревкина. А этот дурак, Ипат, кажется, на седьмом небе в своей новой роли и с необыкновенной дерзостью отказывает всем, кто приезжает к Привалову. Заезжали Половодов, Виктор Васильич, доктор, — всем один ответ: «Барин не приказали принимать...» Виктор Васильич попробовал было силой ворваться в приваловскую половину, но дверь оказалась запертой, а Ипат вдобавок загородил ее, как медведь, своей спиной.

— Скажи своему барину, олух ты этакий, что я умер, — ругался Виктор Васильич. — Понимаешь умер?.. Так и скажи...

Nicolas Веревкин приезжал несколько раз — и совершенно безуспешно Этот никогда не терявший присутствия духа человек проговорил, обращаясь к Хионии Алексеевне, только одну фразу: «Ну, Хиония Алексеевна, только и жилец у вас... а? Уж вы не заперли ли его в своем пансионе под замок?»

Хиония Алексеевна испытывала муки человека, поджариваемого на медленном огне, но, как известно, счастливые мысли — дети именно таких безвыходных положений, поэтому в голове Хионии Алексеевны наконец

мелькнула одна из таких мыслей — именно мысль послать к Привалову Виктора Николаича.

— Я думаю, что ты сегодня сходишь к Сергею Александрычу, — сказала Хиония Алексеевна совершенно равнодушным тоном, как будто речь шла о деле, давно решенном. — Это наконец невежливо, жилец живет у нас чуть не полгода, а ты и глаз к нему не кажешь. Это не принято. Все я да я: не идти же мне самой в комнаты холостого молодого человека!..

— А я-то зачем к нему пойду? — упавшим голосом проговорил Виктор Николаич.

— Как зачем? Вот мило... Снеси газеты и извинись, что раньше не догадался этого сделать... Понял?

Виктор Николаич отправился. Через минуту до ушей Хионии Алексеевны донесся его осторожный стук в дверь и голос Привалова: «Войдите...»

— Извините... — бормотал Заплатин, пряча газеты за спиной, — я, кажется, помешал вам... Вот газеты...

— Если не ошибаюсь... — заговорил Прива-

лов.

— Я самый... да... Виктор Николаич Заплатин... Да.

— Очень приятно. Садитесь, пожалуйста...

Они посмотрели друг другу в глаза: Привалов был бледен и показался Заплатину таким добрым, что язык Виктора Николаича как-то сам собой проговорил:

— Вы уж извините меня, Сергей Александрыч... Я не пошел бы беспокоить вас, да вот Хина пристала, ей-богу...

Привалов с недоумением посмотрел на своего смущенного гостя и улыбнулся: ему сразу понравился этот бедный «муж своей жены». Сначала его неприятно удивил неожиданный визит, а теперь он даже был рад присутствию живого человека. Виктор Николаич в первую минуту считал себя погибшим, — проклятый язык сегодня губил его второй раз, но улыбка Привалова спасла его. Через четверть часа они беседовали самым мирным образом, как старые знакомые, что безгранично удивило Матрешку, считавшую барина решительно неспособным к «словесности».

Уже распростившись и идя к двери, Виктор Николаич вдруг вернулся и спросил:

— А вы слышали, Сергей Александрыч, новость?

— Какую?

— Да весь город об этом говорит...

— Именно?

— Василий-то Назарыч того-с... обанкротился...

Это известие было так неожиданно, что Привалов с особенным вниманием посмотрел на Виктора Николаича, уж не бредит ли он.

— Это верно-с... — продолжал Заплатин. — Все в один голос кричат... А моей Хине, знаете, везде забота: с утра треплется по городу.

— Как же это так... вдруг...

— Да уж так-с... Все вдруг банкротятся. Сказывают, кассир у них с деньгами убежал.

Глава 43

Весть о разорении Бахаревых уже успела облететь весь город. Кто разнес ее, какими путями она побывала везде — трудно сказать. Дурные вести, как вода, просачиваются сквозь малейшие скважины. Заплатина узнала о разорении Бахаревых, конечно, одна из

первых и поспешила на месте проверить собранные новости, а главное — ей хотелось посмотреть, как теперь чувствует себя Марья Степановна и Гордячка Nadine. «И поделом! — восклицала в гостиной Агриппины Филипьевны эта почтенная дама. — А то уж очень зазнались... Ах, интересно теперь взглянуть на них!» Хиония Алексеевна, конечно, не забыла, как приняла ее Марья Степановна в последний раз, но любопытство брало верх над всеми ее чувствами, а она никогда не могла с ним справиться. К тому же теперь она поедет не к прежней Марье Степановне.

Итак, Хиония Алексеевна со свойственной ей развязностью влетела на половину Марьи Степановны, громко расцеловала хмурившуюся Верочку и, торопливо роняя слова, затараторила:

— Ах, mon ange, mon ange... Я так соскучилась о вас! Вы себе представить не можете... Давно рвалась к вам, да все проклятые дела задерживали: о том позаботься, о другом, о третьем!.. Просто голова кругом... А где мамаша? Молится? Верочка, что же это вы так изменились? Уж не хвораете ли, mon ange?..

— Мама в моленной, я сейчас схожу за ней.

Верочка не торопясь вышла из комнаты; болтовня и радость Хины неприятно поразили ее, и в молодом сердце сказалась щемящая нотка. Чему она радуется? Неужели Хина успела уже разнюхать? Верочка закусила губу, чтобы не заплакать от злости.

Дожидаясь Марьи Степановны в ее гостиной, Хиония Алексеевна испытывала неподдельное волнение — как-то выйдет к ней Марья Степановна? А с другой стороны, теперь она отнеслась с совершенно новым чувством У той обстановке, пред которою еще недавно благоговела. Хина спокойно осматривалась кругом, точно была здесь в первый раз, и даже прикинула в уме, сколько стоят примерно находившиеся в этой гостиной вещи и вещицы. Собственно мебель ничего не стоила: ну, ковры, картины, зеркала еще туда-сюда; а вот в стеклянном шкафике красовались японский фарфор и китайский сервиз — это совсем другое дело, и у Хины потекли слюнки от одной мысли, что все эти безделушки можно будет приобрести за бесценок.

— Ах, Марья Степановна... — вскинулась

всем своим тщедушным телом замечтавшаяся Хина, когда на пороге гостиной показалась высокая фигура самой хозяйки.

При виде улыбавшейся Хины у Марьи Степановны точно что оборвалось в груди. По блудливому выражению глаз своей гостьи она сразу угадала, что их разорение уже известно целому городу, и Хиония Алексеевна залетела в их дом, как первая ворона, почуявшая еще теплую падаль. Вся кровь бросилась в голову гордой старухи, и она готова была разрыдаться, но вовремя успела собраться с силами и протянуть гостье руку с своей обыкновенной гордой улыбкой.

— Ах, извините меня, извините меня, Марья Степановна... — рассыпалась Хина, награждая хозяйку поцелуем. — Я все время была так завалена работой, так завалена... Вы меня поймете, потому что можете судить по собственным детям, чего они стоят родителям. Да! А тут еще Сергей Александрыч... Но вы, вероятно, уже слышали, Марья Степановна?

Марья Степановна отнеслась совершенно безучастно к болтовне Хины и на ее вопрос

только отрицательно покачала головой. Чтобы ничем не выдать себя, Марья Степановна потребовала самовар и послала Верочку за вареньем.

— Я решительно не знаю, что и делать, — тараторила гостья, — заперся в своей комнате, никого не принимает...

— Кто заперся-то, Хиония Алексеевна?

— Да Сергей Александрыч... Ах, боже мой! Да неужели вы так уж ничего и не слыхали?

— От кого мне слышать-то... Заперся, значит, дело какое-нибудь есть... Василий Назарыч по неделям сидит безвыходно в своем кабинете. Что же тут особенного?

Но Хиония Алексеевна не унялась и совершенно другим тоном спросила:

— А как здоровье Nadine?

— Не совсем, кажется...

— Скажите... Как жаль! Нынешние молодые люди совсем и на молодых людей не походят. В такие ли годы хворать?.. Когда мне было шестнадцать лет... А все-таки такое странное совпадение: Привалов не выходит из комнаты, занят или нездоровится... Nadine тоже...

Эту пилюлю Марья Степановна проглотила молча. В течение целого часа она точно сидела на угольях, но не выдала себя, а даже успела нанести несколько очень чувствительных ударов самой Хине, рассчитывавшей на слишком легкую добычу.

— Как здоровье Василья Назарыча? — невинным тоном осведомилась Хина, как опытный стратег, оставив самый сильный удар к концу. — В городе ходят слухи, что его здоровье...

— Ему лучше. Вероятно, он скоро отправится на прииски...

Невозмутимое спокойствие Марьи Степановны обескуражило Хину, и она одну минуту усомнилась уже, не врали ли ей про разорение Бахаревых, но доказательство было налицо: приезд Шелехова что-нибудь да значит.

— Ах, я совсем заболталась с вами, Марья Степановна, — спохватилась Хина, допивая чашку. — Мне еще нужно поспеть сегодня в десять мест... До свидания, дорогая Марья Степановна!..

Хина в сопровождении Верочки успела торопливо обежать несколько комнат под бла-

говидным предлогом, что ошиблась выходом. Ее одолевала жажда взглянуть на те вещи, которые пойдут с молотка.

— Ах, какая прелестная ваза! Какой милый коврик... — шептала Хина, ощупывая вещи дрожавшими руками; она вперед смаковала свою добычу и успела прикинуть в уме, какие вещи она возьмет себе и какие уступит Агриппине Филипьевне. Конечно, себе Хиония Алексеевна облюбовала самые хорошие вещи, а своей приятельнице великодушно предоставила все то, что было похуже.

Глава 44

Утром, когда Лука и Данилушка распивали чай, в передней послышался нерешительный звонок.

— Кому бы это быть? — недоумевал Лука, направляясь к дверям.

У подъезда стоял Привалов. В первую минуту Лука не узнал его. Привалов был бледен и смотрел каким-то необыкновенно спокойным взглядом.

— Марью Степановну можно видеть? — спрашивал он.

— Можно, Сергей Александрыч... обнако-

венно можно! Да штой-то из лица-то как вы изменились? Уже не попритчилось ли што грешным делом?

— Да, немножко попритчилось, — с улыбкой ответил Привалов. — Прихворнул...

— Ах ты, грех какой вышел... а?..

Когда Привалов повернулся, чтобы снять пальто, он лицом к лицу встретился с Данилушкой. Старик смотрел на него пристальным, насквозь пронизывающим взглядом. Что-то знакомое мелькнуло Привалову в этом желтом скуластом лице с редкой седой бородкой и узкими, маслянисто-черными глазами.

— Небось не признаете? — проговорил Данилушка улыбнувшись.

— Это вы... Данила Семеныч?..

— Как две капли воды.

Они поздоровались.

— А я у вас был, Сергей Александрыч, — заговорил своим хриплым голосом Данилушка. — Да меня не пустил ваш холуй... Уж я бы ему задал, да, говорит, барин болен.

— Да, я действительно был болен.

Эта неожиданная встреча не произвела впечатления на Привалова; он даже не спро-

сил Данилушку, давно ли он приехал с приисков и зачем. Наружное спокойствие Привалова прикрывало страшную внутреннюю борьбу. Когда он еще брался за ручку звонка, сердце в груди вздрогнуло у него, как спугнутая птица. Данилушку он видел точно в тумане и теперь шел через столовую по мягкой тропинке с каким-то тяжелым предчувствием: он боялся услышать знакомый шорох платья, боялся звуков дорогого голоса и вперед чувствовал на себе пристальный и спокойный взгляд той, которая для него навсегда была потеряна. Весь бахаревский дом казался ему могилою, в которой было похоронено все самое дорогое для него, а вместе с ним и его собственное сердце...

В дверях столовой он столкнулся с Верочкой. Девушка не испугалась по обыкновению и даже не покраснела, а посмотрела на Привалова таким взглядом, который отозвался в его сердце режущей болью. Это был взгляд врага, который не умел прощать, и Привалов с тоской подумал: «За что она меня ненавидит?»

— Мама в гостиной, — холодно проговори-

ла Верочка, когда Привалов поравнялся с ней.

— Мне можно ее видеть?

— Да.

Марья Степановна сидела в кресле и сквозь круглые очки в старинной оправе читала «Кириллову книгу». В трудные минуты жизни она прибегала к излюбленным раскольничьим книгам, в которых находила всегда и утешение и подкрепление. Шаги Привалова заставили ее обернуться. Когда Привалов появился в дверях, она поднялась к нему навстречу, величавая и спокойная, как всегда. Они молча обменялись взглядами.

— Здравствуй... — протянула Марья Степановна. — Чего стоишь в дверях-то? Садись, так гость будешь...

Взглянув на Привалова прищуренными глазами, Марья Степановна прибавила:

— Из себя-то как переменился...

— Был болен, Марья Степановна.

— Слышала стороной, что скудаешься здоровьем-то. Твоя-то Хина как-то забегала к нам и отлепортовала... Тоже вот Данилушка пошел было к тебе в гости, да не солоно хлебавши воротился. Больно строгого камардина, го-

ворит, держишь... Приступу нет.

— Я сейчас видел Данилу Семеныча... Все такой же, почти не изменился совсем... Потолстел, кажется. А как здоровье Василья Назарыча?

— Ничего, поправляется... По зиме-то, видно, с сыном на прииски вместе уедут...

В воображении Привалова Марья Степановна представлялась убитой и потерявшей голову женщиной, в действительности же она явилась по-прежнему спокойной и гордой. Только книга в почерневшем кожаном переплете с медными застежками была новостью для Привалова, и он машинально рассматривал теперь тисненые узоры на обложке этой книги, пока Марья Степановна как ни в чем не бывало перебирала разные пустяки, точно они только вчера расстались и в их жизни ничего не произошло нового. Но эта политика не обманула Привалова: он чутьем понял, что Марья Степановна именно перед ним не хочет выказать своей слабости, потому что недовольна им и подозревает в чем-то. Что в Верочке высказалось открыто и ясно как день, то же самое в Марье Степановне

ушло глубоко внутрь и прикрылось напускным равнодушием. Открытая неприязнь Верочки была легче для Привалова, чем эта чисто раскольничья политика гордой старухи.

Марья Степановна именно того и ждала, чтобы Привалов открылся ей, как на духу. Тогда она все извинила бы ему и все простила, но теперь другое дело: он, очевидно, что-то скрывает от нее, значит, у него совесть не чиста.

Привалов плохо понимал, что говорила с ним Марья Степановна, и с чувством подавленной тоски смотрел кругом. Давно ли вся эта комната была для него дорогим уголком, и он все любил в ней, начиная с обоев и кончая геранями и белыми занавесками в окнах. Сердце его сжималось с мучительной тоской. К чему еще эта последняя ложь и неправда? Ведь он не может объяснить всего Марье Степановне, тогда как она просто не хочет поговорить с ним о том, зачем он пришел. Ведь она видит, как тяжело ему было прийти к ним в дом, и не понимает, зачем он шел...

«Опять недоразумение...» — с горечью думал Привалов, отвечая своей собеседнице

что-то невпопад.

Этот разговор был прерван появлением Надежды Васильевны.

— Мама, тебя на что-то нужно Павле Ивановне, — проговорила девушка, здороваясь с Приваловым.

Старуха зорко наблюдала эту встречу: Привалов побледнел и, видимо, смутился, а Надежда Васильевна держала себя, как всегда. Это совсем сбило Марью Степановну с толку: как будто между ними ничего не было и как будто было. Он-то смешался, а она как ни в чем не бывало... «Ох, не проведешь меня, Надежда Васильевна, — подумала старуха, поднимаясь неохотно с места. — Наскрозь вас вижу с отцом-то: все мудрить бы вам...»

Когда Марья Степановна вышла из комнаты, Привалов с испугавшей его самого смелостью проговорил:

— Мне необходимо переговорить с вами, Надежда Васильевна, об одном деле...

— Если я не ошибаюсь, вас привели к нам те слухи, которые ходят по городу о нашем разорении?

— Да.

— Мама вам ничего не говорила?

— Нет.

— Так я и знала... Она останется верна себе до конца и никогда не выдаст себя. Но ведь она не могла не видеть, зачем вы пришли к нам? Тем более что ваша болезнь, кажется, совсем не позволяет выходить из дому.

— Собственно, я не был болен... — замялся Привалов, чувствуя на себе пристальный взгляд девушки. — Но это все равно... Мне хотелось бы только знать, каково истинное положение дел Василья Назарыча. Обратиться к нему прямо я не решился...

— И хорошо сделали, потому что, вероятно, узнали бы не больше того, что уже слышали от мамы. Городские слухи о нашем разорении — правда... В подробностях я не могу объяснить вам настоящее положение дел, да и сам папа теперь едва ли знает все. Ясно только одно, что мы разорены.

Спокойный тон, с которым говорила Надежда Васильевна, удивил Привалова. Он теперь не думал о себе, о своем положении, его я отошло в сторону; всеми своими чувствами он видел ее, ту ее, какой она сидела с ним...

Невозмутимая и спокойная, с ясным взглядом и задумчиво сложенными губами, она, кажется, никогда не была так хороша, как именно теперь. Это простенькое шерстяное платье, эта простая прическа, эти уверенные открытые движения — все в ней было чудно хорошо, как один стройный музыкальный аккорд. Привалов еще никогда так не любил, как именно теперь... Эти серые большие глаза глядели к нему прямо в душу, где с страшной силой поднялось то чувство, которое он хотел подавить в себе.

— А что бы вы сказали мне, Надежда Васильевна, — заговорил Привалов, — если бы я предложил Василию Назарычу все, что могу предложить с своей стороны?

— Но ведь вы знаете, что отец не согласится на это.

— Но нельзя ли подготовить Василья Назарыча при помощи третьего лица... то есть убедить, чтобы он взял от меня то, на что он имеет полное право?

Надежда Васильевна отрицательно покачала головой.

— Все эти недоразумения, конечно, долж-

ны пройти сами собой, — после короткой паузы сказала она. — Но пока остается только ждать... Отец такой странный... малодушествует, падает духом... Я никогда не видала его таким. Может быть, это в связи с его болезнью, может быть, от старости. Ведь ему не привыкать к подобным превращениям, кажется...

— Я убежден, что стоит Василью Назарычу только самому отправиться на прииски, и все дело поправится. За него стоит известное имя, многолетняя репутация, твердый кредит.

Надежда Васильевна заговорила о Шелехове, которого недолюбливала. Она считала этого Шелехова главным источником многих печальных недоразумений, но отец с непонятным упорством держится за него. Настоящим разорением он, собственно, обязан ему, но все-таки не в силах расстаться с ним.

— А мама — та чуть не молится на Данилушку. Она, кажется, глубоко убеждена в том, что все удачи отца зависят единственно от счастливой звезды Данилушки.

Этот разговор был прерван появлением

Марьи Степановны, которая несколько времени наблюдала разговаривавших в дверную щель. Ее несказанно удивлял этот дружеский характер разговора, хотя его содержание она не могла расслышать. «И не разберешь их...» — подумала она, махнув рукой, и в ее душе опять затеплилась несбыточная мечта. «Чего не бывает на свете...» — думала старуха.

Поговорив с Марьей Степановной, Привалов начал прощаться.

— Опять пропадешь недели на три? — смягченным голосом спрашивала Марья Степановна. — Уж твоя-то Хина не запирает ли тебя на замок?..

— Нет, пока еще не случалось...

— К отцу-то теперь не ходи, у него сидит кто-то, — предупредила Марья Степановна. — Он спрашивал про тебя...

— Я на днях побываю.

— И лучше... Отец-то рад будет тебе.

Глава 45

Через день Привалов опять был у Бахаревых и долго сидел в кабинете Василья Назарыча Этот визит кончился ничем. Старик все время проговорил о делах по опеке над за-

водами и ни слова не сказал о своем положении. Привалов уехал, не заглянув на половину Марьи Степановны, что немного обидело гордую старуху.

Старик Бахарев за эти дни успел настолько освоиться с своим положением, что казался совсем спокойным и обсуждал свои дела с хладнокровием совсем успокоившегося человека.

— К весне непременно нужно добыть денег... — говорил он, когда Надежда Васильевна сидела в его кабинете вечером.

Девушка ничего не ответила на этот косвенный вопрос и только проговорила:

— У тебя, папа, кажется, был Привалов.

— Да, был...

Василий Назарыч пытливо посмотрел на дочь и улыбнулся.

— Ты думаешь, я стану у него просить денег? — спросил он, понизив голос.

— Нет, зачем непременно просить... А если бы Привалов сам тебе предложил?

Старик на минуту задумался, а потом с подавленным вздохом проговорил:

— Нет, голубчик, нам, старикам, видно, не

сварить каши с молодыми... В разные стороны мы смотрим, хоть и едим один хлеб Не возьму я у Привалова денег, если бы даже он и предложил мне их...

Несколько минут в кабинете стояло напряженное молчание, одинаково тяжелое для обоих собеседников.

— Видишь, Надя, какое дело выходит, — заговорил старик, — не сидел бы я, да и не думал, как добыть деньги, если бы мое время не ушло. Старые друзья-приятели кто разорился, кто на том свете, а новых трудно наживать. Прежде стоило рукой повести Василию Бахареву, и за капиталом дело бы не стало, а теперь... Не знаю вот, что еще в банке скажут: может, и поверят. А если не поверят, тогда придется обратиться к Ляховскому.

— Я не советовала бы, папа, тебе...

— Понимаю, Надя, все понимаю, голубчик. Да бывают такие положения, когда не из чего выбирать. А у меня с Ляховским еще старые счеты есть кое-какие. Когда он приехал на Урал, гол как сокол, кто ему дал возможность выбиться на дорогу? Я не хочу приписывать все себе, но я ему помог в самую трудную ми-

нуту.

— А если он откажет тебе?

— Нет, он не может отказать, Надя... Он мне слишком много обязан.

Опять пауза и молчание.

На половине «самой» с первого раза трудно было заметить настоящее положение дел, а человек неопытный даже и ничего особенного не увидел бы. Здесь все было по-старому, в том строгом порядке, как это ведется только в богатых раскольничьих домах. Марья Степановна была так же величественно спокойна и ни на одну йоту не изменила своих привычек. В своем косоклинном сарафане и сороке она выглядела прежней боярыней и по-прежнему справляла бесконечную службу в моленной, куда к ней по-прежнему сходились разные старцы в длиннополых кафтанах, подозрительные старицы и разный другой люд, целую жизнь ютящийся около страннолюбивых и нищекормливых богатых раскольничьих домов. Со стороны этот люд мог показаться тем сбродом, какой питается от крох, падающих со стола господ, но староверческие предания придавали этим людям совсем осо-

бенный тон: они являлись чем-то вроде хозяев в бахаревском доме, и сама Марья Степановна перед каждым кануном отвешивала им земной поклон и покорным тоном говорила: «Отцы и братия, простите меня, многогрешную!» Надежде Васильевне не нравилось это заказное смирение, которым прикрывались те же недостатки и пороки, как и у никониан, хотя по наружному виду от этих выдохшихся обрядов веяло патриархальной простотой нравов. Теперь в особенности поведение матери неприятно действовало на девушку: зачем вся эта фальшь на каждом шагу, в каждом движении, в каждом взгляде?.. Прямая, честная натура Надежды Васильевны возмущалась этой жалкой комедией, но выхода из этого положения не предвиделось. Чуткая молодая совесть переживала целый ряд самых тяжелых испытаний.

Первая любовь с ее радостными тревогами и сладкими волнениями открыла девушке многое, чего она раньше совсем не замечала. Дорогая тень любимого человека стояла за каждым фактом, за каждым малейшим проявлением вседневной жизни и требовала

строгого отчета. Каждая фальшивая нотка поднимала в глазах девушки любимого человека все выше и выше, потому что он служил для нее олицетворением правды. Одно лицо смотрело на нее постоянно, и она в каждом деле мысленно советовалась с ним. Собственное положение в доме теперь ей обрисовалось особенно ясно, то есть, несмотря на болезненную привязанность к ней отца, она все-таки была чужой под этой гостеприимной кровлей, может быть, более чужой, чем все эти старцы и старицы.

«Недаром Костя ушел из этого дома», — не раз думала девушка в своем одиночестве и даже завидовала брату, который в качестве мужчины мог обставить себя по собственному желанию, то есть разом и безнаказанно стряхнуть с себя все обветшалые предания раскольничьего дома.

Именно теперь, при тяжелом испытании, которое неожиданно захватило их дом, девушка с болезненной ясностью поняла все те тайные пружины, которые являлись в его жизни главной действующей силой. Раньше она как-то индифферентно относилась к этим

двум половинам, но теперь их смысл для нее выяснился вполне: Марья Степановна и не думала смиряться, чтобы по крайней мерс дойти до кабинета больного мужа, — напротив, она, кажется, никогда еще не блюла с такой щепетильностью святую отчужденность своей половины, как именно теперь. Смысл такого поведения был теперь ясен как день Марья Степановна умывала руки в тех испытаниях, которые, по ее мнению, Василий Назарыч переживал за свои новшества, за измену гуляевским старозаветным идеалам. Между матерью и дочерью не было сказано ни одного слова на эту тему, но это не мешало последней чувствовать, что больной отец был предоставлен на ее исключительное попечение. По этому поводу состоялось как бы безмолвное соглашение, и Надежда Васильевна приняла его. С каждым днем разница между двумя половинами разрасталась и принимала резкие формы.

В лице матери, Досифеи и Верочки безмолвно составился прочный союз, который, пользуясь обстоятельствами, крепчал с каждым днем. В сдержанном выражении лиц, в

уверенных взглядах Надежда Васильевна, как по книге, читала совершавшуюся перед ней тяжелую борьбу. Пространство, разделявшее два лагеря, с каждым днем делалось все меньше и меньше, и Надежда Васильевна вперед трепетала за тот час, когда все это обрушится на голову отца, который предчувствовал многое и хватался слабеющими руками за ее бесполезное участие. Чем она могла помочь ему, кроме того жалкого в своем бессилии внимания, какое каждая дочь по обязанности оказывает отцу?.. Теперь это бессилие сделалось для нее больным местом, и она завидовала последнему мужику, который умеет, по крайней мере, копать землю и рубить дрова. Положение богатой барышни дало почувствовать себя, и девушка готова была плакать от сознания, что она в отцовском доме является красивой и дорогой безделушкой — не больше.

А с другой стороны, Надежда Васильевна все-таки любила мать и сестру. Может быть, если бы они не были богаты, не существовало бы и этой розни, а в доме царствовали тот мир и тишина, какие ютятся под самыми маленькими кровлями и весело выглядывают

из крошечных окошечек. Приятным исключением и нравственной поддержкой для Надежды Васильевны теперь было только общество Павлы Ивановны, которая частенько появлялась в бахаревском доме и подолгу разговаривала с Надеждой Васильевной о разных разностях.

— Ничего, голубушка, перемелется — мука будет, — утешала старушка, ковыряя свою бесконечную работу. — Как быть-то... Своеобычлива у вас маменька-то, ну да это ничего, душа-то у нее добрая.

Глава 46

Хионня Алексеевна уже начала испытывать на своей особе живительное влияние приваловских миллионов. Когда она сидела в гостиной Агриппины Филипьевны и в сотый раз перебирала все, что успела узнать и придумать относительно Бахаревых, Данилушки и Привалова, приехала Антонида Ивановна. Нужно заметить, что и раньше отношения между этими дамами, то есть Хионией Алексеевной и Антонидой Ивановной, были очень дружелюбны, хотя и не подавали никакого повода к особенной нежности. Но на этот раз

Антонида Ивановна отнеслась к Хионии Алексеевне с особенным вниманием. Конечно, Хиония Алексеевна настолько чувствовала себя опытной в делах подобного рода, что не только не поддалась и не растаяла от любезных улыбок, а даже подумала про себя самым ядовитым образом: «Знаю, знаю, матушка... Это тебя гордец подослал!» Разговор сейчас же завязался о разорении Бахаревых, о Привалове, и Хионии Алексеевне представился самый удобный случай прикинуться совершенно равнодушной к своему жильцу, что она и не преминула выполнить с замечательным искусством.

— Я слышала, что Привалов нынче почти совсем не бывает у Бахаревых, — проговорила Антонида Ивановна, тоже стараясь попасть в тон равнодушия. — Вероятно, дела по опеке отнимают у него все свободное время. Мой Александр целые ночи просиживает за какими-то бумагами.

— Ах, я, право, совсем не интересуюсь этим Приваловым, — отозвалась Хиония Алексеевна. — Не рада, что согласилась тогда взять его к себе на квартиру. Все это Марья

Степановна... Сами знаете, какой у меня характер: никак не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят...

— Привалов, говорят, был очень заинтересован Nadine Бахаревой?..

— И вы верите этому, Антонида Ивановна? Nadine Бахарева!.. Что такое Nadine Бахарева?

Агриппина Филипьевна молчала, слушала этот разговор, но потом ни с того ни с сего заметила:

— А я так думаю, Хиония Алексеевна, что этот ваш Привалов выеденного яйца не стоит... Поживет здесь, получит наследство и преспокойнейшим образом уедет, как приехал сюда. Очень уж много говорят о нем — надоело слушать...

Хиония Алексеевна обиделась. Она никак не ожидала именно такого действия своей тактики... Когда она приехала домой, в душе у нее щемило неприятное чувство, от которого она никак не могла освободиться. А дело, кажется, было ясно как день: несмотря на самую святую дружбу, несмотря на пансионские воспоминания и также на то, что в минуту жизни трудную Агриппина Филипьевна

перехватывала у Хионии Алексеевны сотню-другую рублей, — несмотря на все это, Агриппина Филипьевна держала Хионию Алексеевну в известной зависимости, хотя эта зависимость и выражалась в самой мягкой, дружеской форме. Но теперь другое дело: Хиония Алексеевна, по мнению Агриппины Филипьевны, готова была вообразить о себе бог знает что. Почтенная дама не могла вынести даже одной мысли, что эта Хина, кажется, мечтает устраивать у себя такие же soirees, как она, Агриппина Филипьевна. И вообще еще один маленький шаг, и Хина, пожалуй, совсем задерет нос и в состоянии даже забыться...

«А черт с ним, с этим Приваловым, в самом-то деле, — раздумывала наедине Заплатина под влиянием только что полученной неприятности от своей пансионской подруги. — Пожалуй, с ним только даром время проведешь, а каши не сваришь...»

А Привалов в это время, по мнению Хионии Алексеевны, лишился последних признаков человеческой мысли, доказательством чему, во-первых, служило то, что он свел самое

компрометирующее знакомство с каким-то прасолом Нагибиным, настоящим прасолом, который сидел в мучной лавке и с хлыстом бегал за голубями. Мало этого, Привалов привез его к себе в квартиру, пил с ним чай, и такие tete-a-tete тянулись битых две недели. Наконец в одно прекрасное утро, когда только что установился первый санный путь, к домику Хионии Алексеевны подъехала почтовая повозка, заложенная парой (обратите особенное внимание: парой); Привалов и Нагибин вышли на подъезд, одетые по-дорожному... Но предоставим самой Хионии Алексеевне рассказать то, что последовало дальше:

— Нет, вы представьте себе, Агриппина Филипьевна, такую картину... Я нарочно подбежала к окну и замерла, — да, совсем замерла!.. Смотрю: Ипат выносит маленький чемоданчик, кладет этот чемоданчик в повозку... А я жду, чувствую, что готова упасть в обморок... Привалов садится в повозку и садит рядом с собой этого прасола Нагибина! Ведь он проехал по всему городу с этим Нагибиным, проехал среди белого дня, все его, наверно, видели?! И это миллионер Привалов... Ха! ха!

ха!.. Только в этот момент мне сделалось ясно, какую жертву я принесла для этой старой ханжи Марьи Степановны... Вы знаете мой характер, Агриппина Филипьевна... Да... И вот к чему повели все мои хлопоты, все мои заботы, тревоги, волнения...

В первый раз Привалов проездил дней десять и вернулся один, без Нагибина, что немного успокоило Хионию Алексеевну. Но, увы! Привалов прожил в Узле всего неделю, а потом явился опять Нагибин, и они опять уехали в одной повозке. Матрешка донесла своей госпоже, что Привалов строит мельницу в деревне Гарчики, в двадцати верстах от Лалетинских вод. Заплатина приняла это известие так безучастно, как будто Матрешка рассказывала ей о какой-нибудь полярной экспедиции. Какие Гарчики? Что это за глупое название?.. Хиония Алексеевна окончательно махнула рукой на своего жильца и, конечно, сейчас же отправилась отвести душу к своему единственному, старому, верному другу.

Хиония Алексеевна чувствовала себя в положении человека, изувеченного поездом,

все ее планы рушились, надежды растаяли, оставив в душе мучительную пустоту. И в этот-то критический момент, когда Заплатина сидела на развалинах своих блестящих планов, вдруг к подъезду подкатываются американские сани с медвежьей полостью, и из саней выходит... Антонида Ивановна Половодова... Та самая Половодова, которая в течение долгих лет была только обидно вежлива с Хионией Алексеевной, та Половодова, которая не заплатила ей визита.

— А я к вам, милая Хиония Алексеевна, — весело говорила Половодова, раздеваясь в передней при помощи Виктора Николаича. — Я слышала от maman, что вы не совсем здоровы, и приехала навестить вас... Не беспокойтесь, пожалуйста, Виктор Николаич!.. Благодарю вас...

Хиония Алексеевна готова была даже заплакать от волнения и благодарности. Половодова была одета, как всегда, богато и с тем вкусом, как унаследовала от своей maman. Сама Антонида Ивановна разгорелась на морозе румянцем во всю щеку и была так заразительно свежа сегодня, точно разливала кру-

гом себя молодость и здоровье. С этой женщиной ворвалась в гостиную Хионии Алексеевны первая слабая надежда, и ее сердце задрожало при мысли, что, может быть, еще не все пропало, не все кончено...

— Вы слышали, Хиония Алексеевна, — говорила Половодова с деловым, серьезным лицом, — на святках у Ляховских бал...

— Да, да... Ведь у них каждые святки бывает бал.

— Совершенно верно, но это будет что-то особенное... Уже идут приготовления, хотя до рождества остается целых два месяца.

— Скажите!..

— Мне кажется, что нет ли здесь какой-нибудь особенной причины... Александр мне говорил, что Зося произвела на Привалова сильное впечатление...

— Этот Привалов сумасшедший, Антонида Ивановна... это безумец... это...

Хиония Алексеевна не могла себя сдержать и высказала все, что у нее накипело на душе. Половодова выслушала ее со снисходительной улыбкой и ничего не ответила.

— Отчего вы никогда не заглянете ко

мне? — ласково корила Половодова Хионию Алексеевну, застегивая шведскую перчатку. — Ах, как у вас мило отделан домик... я люблю эту милую простоту. Кстати, Хиония Алексеевна, когда же я наконец увижу вас у себя? Александр утро проводит в банке... Вы, кажется, с ним не сходитесь характерами?.. Но это пустяки, он только кажется гордым человеком...

Когда, проходя по передней в своей шубке из чернобурых лисиц, Половодова вопросительно посмотрела на дверь в комнаты Привалова, Хиония Алексеевна обязательно сейчас же распахнула эту дверь и предложила гостье посмотреть помещение ее жильца.

— Это у него гостиная, там кабинет... Да войдите, Антонида Ивановна.

Половодова, заглянув в дверь, несколько мгновений колебалась — переступать ей порог этой двери или нет, но выдержка взяла верх над любопытством, и Антонида Ивановна на предложение любезной хозяйки только покачала отрицательно своей красивой головой.

Глава 47

Привалов действительно в это время успел познакомиться с прасолом Нагибиным, которого ему рекомендовал Василий Назарыч. С ним Привалов по первопутку исколесил почти все Зауралье, пока не остановился на деревне Гарчиках, где заарендовал место под мельницу, и сейчас же приступил к ее постройке, то есть сначала принялся за подготовку необходимых материалов, наем рабочих и т. д. Время незаметно катилось в этой суете, точно Привалов хотел себя вознаградить самой усиленной работой за полгода бездействия.

В Узле Привалов появлялся только на время, отчасти по делам опеки, отчасти для своей мельницы. Nicolas Веревкин, конечно, ничего не выхлопотал и все сидел со своей нитью, на которую намекал Привалову еще в первый визит. Впрочем, Привалов и не ожидал от деятельности своего адвоката каких-нибудь необыкновенных результатов, а, кажется, предоставил все дело его естественному течению.

— Что-нибудь да выйдет, — говорил Привалов своему поверенному.

— Вот уж этого я не понимаю, Сергей Александрыч... Отправьте меня в Петербург с известными полномочиями, и я мигом оборудую все дело.

— Нет, Николай Иваныч, из такой поездки ровно ничего не выйдет... Поверьте мне Я столько лет совершенно напрасно прожил в Петербурге и теперь только могу пожалеть и себя и даром потраченное время Лучше будем сидеть здесь и ждать погоды...

«Эх, разве так дела делают, — с тоской думал Nicolas, посасывая сигару. — Да дай-ка мне полсотни тысяч, да я всех опекунов в один узел завязал бы... А вот извольте сговориться с субъектом, у которого в голове засела мельница! Это настоящая болезнь, черт возьми...»

Nicolas несколько раз окольными путями, самым осторожным образом, пытался навести Привалова на мысль, что цель оправдывает средства и что стоит только сразиться с противниками их же собственным оружием — успех будет несомненный. Но Привалов не хотел понимать эти тонкие внушения и несколько раз к слову говорил, что предпочи-

тает лучше совсем лишиться всякого наследства, чем когда-нибудь стать на одну доску с своими опекунами. Такое категорическое решение сильно обескураживало Веревкина, хотя он и не терял надежды когда-нибудь «взвеселить» опекунов.

Когда все самое необходимое по постройке мельницы было сделано, Привалов отправился в Шатровский завод.

В светлый ноябрьский день подъезжал Привалов к заветному приваловскому гнезду, и у него задрожало сердце в груди, когда экипаж быстро начал подниматься на последнюю возвышенность, с которой открывался вид на весь завод. Это была широкая горная панорама с узким и глубоким озером в середине. В дальнем конце этого озера зеленела группа лесистых островков, а ближе, на выступившем крутом мыске, весело рассыпались сотни бревенчатых изб и ярко белела каменная заводская церковь. Широкая плотина замыкала озеро и связывала мыс с лесистой крутой горкой, у самого подножия которой резко выделялся своей старинной архитектурой господский старый дом с почерневшей

высокой железной крышей и узкими окнами. Издали этот дом походил на цитадель, а его окна казались крепостными амбразурами.

Сейчас за плотиной громадными железными коробками стояли три доменных печи, выметывавшие вместе с клубами дыма широкие огненные языки; из-за них поднималось несколько дымившихся высоких железных труб. На заднем плане смешались в сплошную кучу корпуса разных фабрик, магазины и еще какие-то здания без окон и труб. Река Шатровка, повернув множество колес и шестерен, шла дальше широким, плавным разливом. По обоим ее берегам плотно рассажались дома заводских служащих и мастеровых.

Прокатившись по заводской плотине, экипаж Привалова остановился у подъезда господского дома, который вблизи смотрел еще мрачнее и суровее, чем издали.

Каменные ворота были такой же крепостной архитектуры, как и самый дом: кирпичные толстые вереи с пробитыми в них крошечными калитками, толстая железная решетка наверху с острыми гвоздями, полотнища ворот чуть не из котельного железа, —

словом, это была самая почтенная древность, какую можно еще встретить только в старинных монастырях да заштатных крепостях. Недоставало рва с водой и подъемного моста, как в рыцарских замках.

Из новенького подъезда, пробитого прямо в толстой наружной стене, показались два черных сеттера. Виляя пушистыми хвостами и погромыхивая медными ошейниками, они обнюхивали Привалова самым дружелюбным образом, пока он вылезая из экипажа, а затем ощупью пробирался по темной узкой передней.

— Константин Васильич дома? — спрашивал Привалов, когда в дверях показалась девушка в накрахмаленном белом переднике.

— Нет, они на заводе... — бойко ответила девушка и сейчас же принялась тащить с гостя тяжелую оленью доху. — А как о вас доложить прикажете?

— Привалов...

Горничная выпустила из рук рукав дохи, несколько мгновений посмотрела на Привалова такими глазами, точно он вернулся с того света, и неожиданно скрылась.

В это время к подъезду неторопливо подходил господин среднего роста, коренастый и плотный, в дубленом романовском полушубке и чёрной мерлушковой шапке. Он вошел в переднюю и неторопливо начал раздеваться, не замечая гостя.

— Костя...

— А... это ты, — неторопливо проговорил Бахарев таким тоном, точно вчера расстался с Приваловым. — Наконец-то надумался, а я уж и ждать тебя перестал... Ну, здравствуй!..

Друзья детства пожали друг другу руки и, после некоторого колебания, даже расцеловались по русскому обычаю из щеки в щеку. Привалов с особенным удовольствием оглядывал теперь коренастую, немного сутуловатую фигуру Кости, его суконную рыжую поддевку, черные шаровары, заправленные в сапоги, и это широкое русское лицо с окладистой русой бородой и прищуренными глазами. Костя остался прежним Костей, начиная от остриженных под гребенку волос и кончая своей рыжей поддевкой. Бывают такие люди, у которых как-то все устроено так, что то, что мы называем красотой, здесь оказывается со-

вершенно излишним. Константин Бахарев был именно таким человеком.

Через длинную гостиную с низким потолком и узкими окнами они прошли в кабинет Бахарева, квадратную угловую комнату, выходившую стеклянной дверью в столовую, где теперь мелькал белый передник горничной. Обстановка кабинета была самая деловая: рабочий громадный стол занимал середину комнаты, у окна помещался верстак, в углу — токарный станок, несколько шкафов занимали внутреннюю стену. Между печью и окном стоял глубокий старинный диван, обтянутый шагренью, — он служил хозяину кроватью. На письменном столе, кроме бумаг и конторских книг, кучей лежали свернутые трубочкой планы и чертежи, части деревянной модели, образчики железных руд, пробы чугуна и железа и еще множество других предметов, имевших специально заводское значение. Все это — и стол, и верстак, и окна, и пол, — все было обильно посыпано пеплом от сигар, и везде валялись окурки папирос.

— А ведь я рассорился с стариком... — нерешительно проговорил Привалов, чтобы

чем-нибудь прервать наступившее неловкое молчание.

— Слышал... — коротко ответил Бахарев, шагая по кабинету своим развалистым шагом. — Надя писала...

— А слышал, что дела у старика плохи?

— Да... Ничего, поправится, — прибавил он, точно для успокоения Привалова.

— Поправится-то, конечно, поправится, да теперь ему туго приходится...

Они заговорили о делах Василия Назарыча, причем Привалов рассказал о неожиданном приезде в Узел Шелехова.

— Ну, значит, дела очень плохи, если Данилушка прилетел с приисков, — заметил Бахарев с неопределенной улыбкой.

Бахарев очистил на письменном столе один угол, куда горничная и поставила кипевший самовар. За чаем Бахарев заговорил об опеке и об опекунах. Привалов в коротких словах рассказал, что вынес из своих визитов к Ляховскому и Половодову, а затем сказал, что строит мельницу.

— Слышал... Что же, в добрый час... Кажется, Надя что-то такое писала о какой-то мель-

нице, — старался припомнить Бахарев, наливая стаканы.

С первых же слов между друзьями детства пробежала черная кошка. Привалов хорошо знал этот сдержанный, холодный тон, каким умел говорить Костя Бахарев. Не оставалось никакого сомнения, что Бахарев был против планов Привалова.

— Я не понимаю одного, — говорил Бахарев после долгой паузы, — для чего ты продолжаешь эти хлопоты по опеке?

— Как для чего?

— Да так... Ведь все равно ты бросил заводы, значит, они ничего не проиграют, если перейдут в другие руки, которые сумеют взяться за дело лучше нашего.

— Нет, не все равно, Костя. Говоря правду, я не для себя хлопочу...

— И это знаю... Тем хуже для заводов. Подобные филантропические затеи никогда и ни к чему не вели.

— Да ведь ты даже хорошенько не знаешь моих филантропических затей...

— И не желаю знать... Совершенно довольно с меня того, что ты бросил заводы.

— В том-то и дело, что я даже не имею права их бросить.

— Опять глупое слово... Извини за резкое выражение. По-моему, в таком деле и выбора никакого не может быть, а ты... Нет, у меня решительно не так устроена голова, чтобы понимать эту погоню за двумя зайцами.

— Пожалуйста, оставим этот разговор до другого раза.

— Согласен, тем более что я тебе, кажется, все сразу высказал.

Константин Бахарев был фанатик заводского дела, как Василий Бахарев был фанатиком золотопромышленности. Это были две натуры одного закала, почему, вероятно, они и не могли понять друг друга. Костя не знал и ничего не хотел знать, кроме своих заводов, тогда как Привалов постоянно переживал все муки неустоявшейся мысли, искавшей выхода и не находившей, к чему прилепиться.

Друзья поговорили о разных пустяках и почувствовали то неловкое положение, когда два совершенно чужих человека должны занимать друг друга. Разговор не клеился.

— Не желаешь ли сходить на завод? —

предложил Бахарев, когда чай был кончен.

— Пожалуй.

От господского дома до завода было рукой подать, — стоило только пройти небольшую площадь, на которой ютилось до десятка деревянных лавок. В заводском деле Привалов ничего не понимал и бродил по заводу из корпуса в корпус только из вежливости, чтобы не обидеть Костю. Да и что было во всем этом интересного: темные здания, где дует из каждого угла, были наполнены мастеровыми с запекшимися, изнуренными лицами: где-то шумела вода, с подавленным грохотом вертелись десятки чугунных колес, шестерен и валов, ослепительно ярко светились горна пудлинговых, сварочных, отражательных и еще каких-то мудреных печей. Везде мелькало раскаленное железо, и черными клубами вырывался дым из громадных труб. Бахарев оживился и давал самые подробные объяснения новой, только что поставленной катальной машины, у которой стальные валы были заточены самым необыкновенным образом. Чтобы доставить удовольствие Привалову, на новой машине было прокатано несколько по-

лос сортового железа. Привалов видел, как постепенно черновая болванка, имевшая форму длинного кирпича, проходила через ряд валов, пока не превратилась в длинную тонкую полосу, которая гнулась под собственной тяжестью и рассыпала кругом тысячи блестящих искр.

— А вот я тебе покажу водяное колесо, — предлагал Бахарев, предлагая пройти в новую деревянную постройку.

Осмотрели колесо, которое вертелось с подавленным шумом, заставляя вздрагивать всю фабрику. Привалов пощупал рукой медную подушку, на которой вращалась ось колеса — подушка была облита ворванью. Бахарев засмеялся. Плотинный и уставщик, коренастые старики с плутоватыми физиономиями, переглянулись.

Таким же образом были осмотрены печи Сименса-Мартена, потом вагранка. Поднялись на доменные печи, где с шипением и треском пылало целое море огня и снопом летели кверху крупные искры. Те же обожженные лица, кожаные фартуки, мягкие прядeники на ногах. Привалов чувствовал себя в этом

царстве огня и железа совершенно чужим, лишним человеком и молча осматривал все, что ему показывали. Он стеснялся задавать вопросы, чтобы не обнаружить перед рабочими своего полного неведения по части заводского дела. Между тем по фабрикам уже пронеслась молва, что приехал сам барин и осматривает с управляющим всякое действие. Образовались кучки любопытных, из всех щелей и дыр блестели любопытством чьи-то глаза. Служить центром внимания этих сотен людей Привалов совсем не желал и предложил Бахареву вернуться домой, ссылаясь на голод.

— Действительно, соловья баснями не кормят, — согласился Бахарев. — Я и забыл, что ты с дороги, и моя прямая обязанность прежде всего накормить тебя...

Привалов вздохнул свободнее, когда выбрался под открытое небо из этого царства гномов, где даже самый снег был покрыт сажей и пылью и все кругом точно дышало огнем и дымом.

Глава 48

Все время обеда и вплоть до самого вечера прошло как-то между рук, в разных отрывочных разговорах, которыми друзья детства напрасно старались наполнить образовавшуюся за время их разлуки пустоту.

Перед тем как идти спать, Привалову пришлось терпеливо выслушать очень много самых интересных вещей относительно заводского дела. Отделаться от Бахарева, когда он хотел говорить, было не так-то легко, и Привалов решился выслушать все до конца, чтобы этим гарантировать себя на будущее время. Как все увлеченные своей идеей люди, Бахарев не хотел замечать коварного поведения своего друга и, потягивая портер, нетерпеливо выгружал обильный запас всевозможных проектов, нововведений и реформ по заводам. Тут было достаточно всего: и узкоколейные железные дороги, которыми со временем будет изрезан весь округ Шатровских заводов, и устройство бессемеровского способа производства стали, и переход заводов с древесного топлива на минеральное, и горячее дутье в видах «улавливания газов и утилизации теряющегося жара» при нынешних си-

стемах заводских печей, и т. д. Привалов старался внимательно вслушаться в некоторые проекты, но не мог и только замечал, как лицо Кости делалось все краснее и краснее, а глаза заметно суживались.

Друзья детства для первого раза разошлись по своим комнатам довольно холодно. Привалову была отведена угловая комната, выходившая двумя окнами в сад. Она играла роль и кабинета и спальни. Между окнами стоял небольшой письменный стол, у внутренней стены простенькая железная кровать под белым чехлом, ночной столик, этажерка с книгами в углу, на окнах цветы, — вообще вся обстановка смахивала на монастырскую келью и понравилась Привалову своей простотой. На письменном столе лежала записная книжка в шагреневом переплете, стояли две вазочки для букетов и валялась какая-то женская работа с воткнутой иглой.

— Это Надя что-то работала... — проговорил Бахарев, взглянув на письменный стол. — Когда она приезжает сюда, всегда занимает эту комнату, потому что она выходит окнами в сад. Тебе, может быть, не нравится

здесь? Можно, пожалуй, перейти в парадную половину, только там мерзость запустения.

— Нет, мне здесь будет отлично.

Бахарев ушел, а Привалов разделся и поскорее лег в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и в голове его с мучительной тоской билась одна мысль: вот здесь, в этой комнате, жила она... Да, она здесь работала, она здесь думала, она здесь смеялась... Вот это окно отворяли ее руки, она поливала эти цветы по утрам. Даже эти крепостные стены в глазах Привалова получили совершенно другое значение; точно они были согреты присутствием той Нади, о которой болело его сердце. Надя, Надя... ты чистая, ты хорошая, ты, может быть, вот в этой самой комнате переживала окрыляющее чувство первой любви и, глядя в окно или поливая цветы, думала о нем, о Лоскутове. Здесь перечитывались его письма, здесь припоминались счастливые мгновения дорогих встреч, здесь складывались золотые сны, здесь переживались счастливые минуты первого пробуждения молодого чувства... Здесь она называла его ласковыми именами, здесь она улыбалась ему во сне

и, протягивая руки, шептала слова любви. Чудные грезы и бесконечная поэзия, которые идут рука об руку с муками сердца и мириадами страданий...

Он старался забыть ее, старался не думать о ней, а между тем чувствовал, что с каждым днем любит ее все больше и больше, любит с безумным отчаянием.

Наследник приваловских миллионов заснул в прадедовском гнезде тяжелым и тревожным сном. Ему грезились тени его предков, которые вереницей наполняли этот старый дом и с удивлением смотрели на свою последнюю отрасль. Привалов видел этих людей и боялся их. Привалов глухо застонал во сне, и его губы шептали: «Мне ничего не нужно вашего... решительно ничего. Меня давят ваши миллионы...»

Глава 49

На другой день Привалов встал с головной болью.

Завтрак был подан в столовой Когда они вошли туда, первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то господин, который сидел у стола и читал книгу, положив локти

на стол. Он сидел вполоборота, так что в первую минуту Привалов его не рассмотрел хорошенько.

— А, Максим... — весело заговорил Бахарев.

Привалов вздрогнул при этом имени Действительно, это был Лоскутов. Он не встал навстречу хозяину, а только с улыбкой своего человека в доме слегка кивнул головой Бахареву и опять принялся читать.

— Позвольте познакомить... — заговорил Бахарев.

— Нет, мы уже знакомы... — перебил его Привалов, торопливо протягивая руку своему счастливому сопернику.

— Да, да... — протянул Лоскутов, вскидывая глазами на Привалова, — у Ляховских встречались...

В первую минуту Привалов почувствовал себя так неловко, что решительно не знал, как ему себя держать, чтобы не выдать овладевшего им волнения. Лоскутов, как всегда, был в своем ровном, невозмутимом настроении и, кажется, совсем не замечал Привалова.

Как это ни странно, но благодаря именно

присутствию Лоскутова весь день прошел особенно весело. Бывают такие положения, когда третий человек так же необходим для различных выкладок, как то неизвестное X, при помощи которого решаются задачи в математике. Привалов не мог не сравнить своих вчерашних разговоров с Костей с глазу на глаз с сегодняшними: о натянутости не было и помину. Затем второй странностью для Привалова было то, что сегодня он совершенно свободно говорил обо всем, о чем вчера старался молчать, и опять-таки благодаря участию Лоскутова.

— А ведь знаете, Сергей Александрыч, — говорил Лоскутов своим простым уверенным тоном, — я вполне сочувствую всем вашим планам и могу только удивляться, как это люди вроде Константина Васильича могут относиться к ним с таким равнодушием.

Наконец нашелся человек, который открыто высказывался за Привалова, и этот человек был его соперник.

Вечером в кабинете Бахарева шли горячие споры и рассуждения на всевозможные темы. Горничной пришлось заменить очень много

выпитых бутылок вина новыми. Лица у всех раскраснелись, глаза блестели. Все выходило так тепло и сердечно, как в дни зеленой юности. Каждый высказывал свою мысль без всяких наружных прикрытий, а так, как она выливалась из головы.

— А ты все-таки утопист и мечтатель, — говорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу.

— Нет, наоборот: ты увлекаешься своими фантазиями и из-за них не хочешь видеть действительных интересов, — возражал Привалов.

Привалов был плохой оратор, но теперь он с особенной последовательностью и ясностью отстаивал свои идеи.

— Против промышленности вообще и против железной промышленности в частности я ничего не имею, — говорил он, размахивая руками. — Но это только в теории или в применении к Западу... А что касается русского заводского дела, я — против него. Это болезненный нарост, который питается на счет здоровых народных сил. Горное дело на Урале создалось только благодаря безумным привилегиям и монополиям, даровым трудом мил-

лионов людей при несправедливейшей эксплуатации чисто национальных богатств, так что в результате получается такой печальный вывод: Урал со всеми своими неистощимыми богатствами стоил правительству в десять раз дороже того, сколько он принес пользы... И вдобавок — эти невероятные жертвы правительства не принесут и в будущем никакой пользы, потому что наши горные заводы все до одного должны ликвидировать свои дела, как только правительство откажется вести их на помочах. Стоит только отменить правительству тариф на привозные металлы, оградить казенные леса от расхищения заводчиками, обложить их производительность в той же мере, как обложен труд всякого мужика, — и все погибнет сразу.

— Но ведь эти затраты правительство делало не из личной пользы, а чтобы создать крупную заводскую промышленность. Примеры Англии, Франции, наконец Америки — везде одно и то же. Сначала правительство и нация несомненно теряли от покровительственной системы, чтобы потом наверстать свои убытки с лихвой и вывести промышлен-

ность на всемирный рынок.

— Там это было действительно так, а у нас получается противоположный результат: наша политика относительно заводов вместо развития промышленности создала целое поколение государственных нищих, которые, лежа на неисчислимых сокровищах, едва пропитывают себя милостыней. Результат получился как раз обратный: вместо развития горной промышленности мы загородили ей дорогу чудовищной монополией.

— Ты забываешь только одно, что ты сам заводчик, — заметил Бахарев.

— Нет, я этого никогда не могу забыть и поэтому должен в особенности выяснить положение свое собственное и других заводчиков. Мы живем паразитами...

— Кто же вам мешает не быть ими?

— Это другой вопрос, который я постараюсь разобрать обстоятельнее.

Привалов набросал широкую картину настоящего уральских заводчиков, большинство которых никогда даже и не бывало на своих заводах. Системой покровительства заводскому делу им навсегда обеспечены мил-

лионные барыши, и все на заводах вертится через третьи и четвертые руки, при помощи управителей, поверенных и управляющих. В таких понятиях и взглядах вырастает одно поколение за другим, причем можно проследить шаг за шагом бесповоротное вырождение самых крепких семей. Чтобы вырваться из этой системы паразитизма, воспитываемой в течение полутораста лет, нужны нечеловеческие усилия, тем более что придется до основания разломать уже существующие формы заводской жизни.

— Вот ты и занялся бы такими реформами, — проговорил Бахарев. — Кстати, у тебя свободного времени, кажется, достаточно...

— А если я сознаю, что у меня не хватает силы для такой деятельности, зачем же мне браться за непосильную задачу, — отвечал Привалов — Да притом я вообще против насильственного культивирования промышленности. Если разобрать, так такая система, кроме зла, нам ничего не принесла.

— По-твоему, остается, значит, закрыть заводы и возвратиться к каменному периоду?

— Вот в том-то и дело, что мы, заводчики,

даже не имеем права закрыть заводы, потому что с ними связаны интересы полумиллионного населения, которому мы кругом должны. Чьим трудом создавались заводы и на чьей земле?..

— Теперь об этом говорить довольно поздно...

— Нет, именно теперь об этом и следует говорить, потому что на заводах в недалеком будущем выработается настоящий безземельный пролетариат, который будет похуже всякого крепостного права...

Глава 50

Несколько дней Привалов и Бахарев специально были заняты разными заводскими делами, причем пришлось пересмотреть кипы всевозможных бумаг, смет, отчетов и соображений. Сначала эта работа не понравилась Привалову, но потом он незаметно втянулся в нее, по мере того как из-за этих бумаг выступала действительность. Но, работая над одним материалом, часто за одним столом, друзья детства видели каждый свое.

Прежде всего выступила на сцену история составления уставной грамоты, что относи-

лось еще ко времени опекунства Сашки Холостова. Очевидно, эта уставная грамота была составлена каким-то отчаянным приказным, крючкотвором и докой. Просматривая теперь эту грамоту, через двадцать лет, можно было только удивляться проницательности и широте взглядов ее безвестного составителя: все было предусмотрено, взвешено и где следует выговорено и оговорено. Конечно, дока составлял грамоту по поручению Холостова и на его кормах, поэтому и все выгоды от нее были на стороне заводов. Центр тяжести лежал в наделе мастеровых землей, и этот пункт был обработан с особенным мастерством. В результате получалось население в сорок тысяч, совершенно обезземеленное, самое существование которого во всем зависит от рокового «впредь до усмотрения».

Далее выяснилась двадцатилетняя история мужицких мытарств относительно этой грамоты, которая была подписана какими-то «старичками».

Отыскали покладистых старичков, те под пьяную руку подмахнули за все общество уставную грамоту, и дело пошло гулять по

всем мытарствам. Мастеровые и крестьяне всеми способами старались доказать неправильность составленной уставной грамоты и то, что общество совсем не уполномачивало подписывать ее каких-то сомнительных старичков. Так дело и тянулось из года в год. Мужики нанимали адвокатов, посылали ходоков, спорили и шумели с мировым посредником, но из этого решительно ничего не выходило.

— Это дело необходимо покончить, — говорил Привалов, просматривая документы. — Уставная грамота действительно составлена неправильно...

— Да, но теперь все зависит от опекунов...

«Что скажут опекуны», «все зависит от опекунов» — эти фразы были для Привалова костью в горле, и он никогда так не желал развязаться с опекой во что бы то ни стало, как именно теперь.

Скоро выплыло еще более казусное дело о башкирских землях, замежеванных в дачу Шатровских заводов еще в конце прошлого столетия. Оказалось, что дело об этом замежевании велось с небольшими перерывами це-

лых сто лет, и истцы успели два раза умереть и два раза родиться. Слабая сторона дела заключалась в том, что услужливый землемер в пылу усердия замежевал целую башкирскую деревню Бухтармы; с другой стороны, услужливый человек, посредник, перевел своей единоличной властью целую башкирскую волость из вотчинников в припущенники, то есть с надела в тридцать десятин посадил на пятнадцать. Остальные десятины отошли частью к заводам, а частью к мелким землевладельцам. Главное затруднение встречалось в том, что даже приблизительно невозможно было определить те межи и границы, о которых шел спор. В документах они были показаны «от урочища Сухой Пал до березовой рощи», или, еще лучше, «до камня такого-то или старого пня». Ни березовой рощи, ни камня, ни пня давно уже не было и в помине, а где стояло урочище Сухой Пал — каждая сторона доказывала в свою пользу. Разница получалась чуть не в пятьдесят верст. Да и самая деревня Бухтармы успела в течение ста лет выгореть раз десять, и ее наличное население давно превратилось в толпу голодных и жал-

ких нищих.

— Что мы будем делать? — несколько раз спрашивал Привалов хмурившегося Бахарева.

— Теперь решительно ничем нельзя помочь, — отвечал обыкновенно Бахарев, — проклятая опека связала по рукам и по ногам... Вот когда заводы выкрутятся из долгов, тогда совсем другое дело. Можно просто отрезать башкирам их пятнадцать десятин, и конец делу.

— Да, но ведь не все же эти десятины отошли к заводам?

— Сосчитайте, сколько их отошло.

Точно для иллюстрации этого возмутительного дела в Шатровском заводе появилась целая башкирская депутация. Эти дети цветущей Башкирии успели проведать, что на заводы приехал сам барин, и поспешили воспользоваться таким удобным случаем, чтобы еще раз заявить свои права.

Привалова на первый раз сильно покоробило при виде этой степной нищеты, которая нисколько не похожа на ту нищету, какую мы привыкли видеть по русским городам, се-

лам и деревням. Цивилизованная нищета просит если не словами, то своей позой, движением руки, взглядом, наконец — лохмотьями, просит потому, что там есть надежда впереди на что-то. Но здесь совсем другое: эти бронзовые испитые лица с косыми темными глазами глядят на вас с тупым безнадежным отчаянием, движения точно связаны какой-то мертвой апатией даже в складках рваных азямов чувствовалось эта чисто азиатское отчаяние в собственной судьбе. «Такова воля Аллаха...» — вот роковые слова, которые гнездились под меховыми рваными треухами. Какое-то подавляющее величие чувствовалось в этой степной философии, созданной тысячелетиями и красноречиво иллюстрированной событиями последних двухсот лет.

— Бачка... кош ставить нильзя... — десять раз принимались толковать башкиры, — ашата подох... становой кулупал по спинам...

Между этой отчаянной голытьбой, обреченной более сильной цивилизацией на вымирание, как объясняет наука, выделялись только два старика, которые были коноводами. Один, Кошгильда, был лет под шестьде-

сят, широкоплечий, с подстриженной седой бородкой, с могучей грудью. Другой, жилистый и сухой, весь высохший субъект, с тонкой шеей и подслеповатыми, слезившимися глазами. Его звали Урукаем. Старики держали себя просто и свободно, с грацией настоящих степняков. Они еще чуть-чуть помнили привольное старое житье, когда после холодной и голодной зимы отправлялись на летние кочевки сотнями кошей. Степь была вольная. За лето успевали все отдохнуть — и скот и люди. А теперь... «кунчал голова», — как объяснял более живой Кошгильда.

«Вот они, эти исторические враги, от которых отсиживался Тит Привалов вот в этом самом доме, — думал Привалов, когда смотрел на башкир. — Они даже не знают о том славном времени, когда башкиры горячо воевали с первыми русскими насельниками и не раз побивали высылаемые против них воинские команды... Вот она, эта беспощадная философия истории!»

Башкир несколько дней поили и кормили в господской кухне. Привалов и Бахарев надрывались над работой, разыскивая в завод-

ском архиве материалы по этому делу. Несколько отрывочных бумаг явилось плодом этих благородных усилий — и только. Впрочем, на одной из этих бумаг можно было прочитать фамилию межевого чиновника, который производил последнее размежевание. Оказалось, что этот межевой чиновник был Виктор Николаич Заплатин.

— Вот и отлично, — обрадовался Привалов. — Это хозяин моей квартиры в Узле, — объяснял он Бахареву, — следовательно, от него я могу получить все необходимые указания и, может быть, даже материалы.

— Дай бог...

Когда башкирам было наконец объявлено, что вот барин поедет в город и там будет хлопотать, они с молчаливой грустью выслушали эти слова, молча вышли на улицу, сели на коней и молча тронулись в свою Бухтарму. Привалов долго провожал глазами этих несчастных, уезжавших на верную смерть, и у него крепко щемило и скребло на сердце. Но что он мог в его дурацком положении сделать для этих людей!

Целую ночь снилась Привалову голодная

Бухтарма. Он видел грязных, голодных женщин, видел худых, как скелеты, детей... Они не протягивали к нему своих детских ручек, не просили, не плакали. Только длинная шея Урукая вытянулась еще длиннее, и с его губ сорвались слова упрека:

— Наш земля — твой земля... — хрипел Урукай, совсем закрыв слезившиеся глазки. — Все — твой, ничево — наш... Аташа подох, апайка подох, Урукай подох...

Привалов проснулся с холодным потом на лбу.

Глава 51

Привалов прожил на Шатровском заводе недели две и все время был завален работой по горло. Свободное время оставалось только по вечерам, когда шли бесконечные разговоры обо всем.

Лоскутов уезжал на прииски только на несколько дней. Работы зимой были приостановлены, и у него было много свободного времени. Привалов как-то незаметно привык к обществу этого совершенно особенного человека, который во всем так резко отличался от всех других людей. Только иногда какое-ни-

будь неосторожное слово нарушало это мирное настроение Привалова, и он опять начинал переживать чувство предубеждения к своему сопернику.

— Это, голубчик, исключительная натура, совершенно исключительная, — говорил Бахарев про Лоскутова, — не от мира сего человек... Вот я его сколько лет знаю и все-таки хорошенько не могу понять, что это за человек. Только чувствуешь, что крупная величина перед тобой. Всякая сила дает себя чувствовать.

— Мне еще Ляховский говорил о нем, — заметил Привалов, — впрочем, он главным образом ценит его как философа и ученого.

— Да, с этой стороны Лоскутов понятнее. Но у него есть одно совершенно исключительное качество... Я назвал бы это качество притягательной силой, если бы речь шла не о живом человеке. Говорю серьезно... Замечаешь, что чувствуешь себя как-то лучше и умнее в его присутствии; может быть, в этом и весь секрет его нравственного влияния.

— Однако что же такое, по-твоему, этот Лоскутов?

— Лоскутов? Гм. По-моему, это — человек, который родился не в свое время. Да, Ему негде развернуться, вот он и зарылся в книги с головой. А между тем в другом месте и при других условиях он мог бы быть крупным деятелем... В нем есть эта цельность натуры, известный фанатизм, — словом, за такими людьми идут в огонь и в воду.

Вообще Лоскутов для Привалова продолжал оставаться загадкой. С одной стороны, он подкупал Привалова своей детской простотой, как подкупал Бахарева своим цельным характером, а Ляховского умом; с другой стороны, Привалова отталкивала та мистическая нотка, какая звучала в рассуждениях Лоскутова. Вглядываясь в выражение лица Лоскутова, Привалов испытывал иногда щемящее, неприятное чувство... Иногда Привалову делалось настолько тяжёлым присутствие Лоскутова, что он или уходил на завод, или запирался на несколько часов в своей комнате. «Если ты действительно любишь ее, — шептал ему внутренний голос, — то полюбишь и его, потому что она счастлива с ним, потому что она любит его...» Гнетущее

чувство смертной тоски сжимало его сердце, и он подолгу не спал по ночам, тысячу раз передумывая одно и то же. Надежда Васильевна и Лоскутов — это были два роковые полюса, между которыми с болезненным напряжением теперь опять вращались все мысли Привалова...

Лоскутов, с своей стороны, относился к Привалову с большим вниманием и с видимым удовольствием выслушивал длиннейшие споры о его планах. Привалов иногда чувствовал на себе его пристальный взгляд, в котором стоял немой вопрос.

— Знаете что, Сергей Александрыч, — проговорил однажды Лоскутов, когда они остались вдвоем в кабинете Бахарева, — я завидую вашему положению.

— В каком отношении? — удивился Привалов.

— Да во многих отношениях... Конечно, вам предстоит много черновой, непроизводительной работы, но эта темная сторона с лихвой выкупается основной идеей. Начать с того, что вы определяете свои отношения к заводам без всяких иллюзий, а затем, если осу-

ществится даже половина ваших намерений, Шатровские заводы послужат поучительным примером для всех других.

— Да... Но ведь «добрыми намерениями вымощен весь ад», как говорит пословица, — заметил Привалов. — Все дело может кончиться тем, что мы не развяжемся даже с опекой...

— Гм... конечно, все может быть. Тогда у вас в резерве остается ваше собственное дело — организация хлебной торговли на рациональных основаниях. Уж одним этим вы спасете тысячи людей от эксплуатации нарождающейся буржуазии. Я понимаю, что всякое новое дело, особенно в области практических интересов, должно пройти через целый ряд препятствий и даже неудач, но великое дело — положить именно начало. Последователи и продолжатели найдутся. По-моему, вы выбрали особенно удачный момент для своего предприятия: все общество переживает период брожения всех сил, сверху донизу, и вот в эту лабораторию творящейся жизни влить новую струю, провести новую идею особенно важно. Конечно, были попыт-

ки и раньше в этом направлении, но я разбираю ваш проект по отношению к настоящему времени, к выбранному месту и тем средствам, какими вы располагаете.

Однажды, когда Привалов после ужина ушел в свою комнату и только что хотел посмотреть последнюю книжку журнала, в дверях послышался осторожный стук.

— Вы спите? — спрашивал за дверями голос Лоскутова.

— Нет... войдите.

— А я к вам... Что-то не хочется спать, а Константин Васильич ушел на завод. Можно у вас посидеть?

— Отчего же...

Лоскутов поместился на маленьком клеенчатом диванчике и не торопясь раскурил папиросу.

«Зачем он пришел?» — думал Привалов, предчувствуя какое-то объяснение.

— А мне хотелось с вами поговорить, — продолжал Лоскутов, попыхивая синим дымом. — Может быть, вы не расположены к этому? Будьте Откровенны, я не обижусь...

— Нет, я с удовольствием послушаю.

Лоскутов бросил недокуренную папиросу в угол, прошелся по комнате несколько раз и, сделав крутой поворот на каблуках, сел рядом с Приваловым и заговорил с особенной отчетливостью:

— Все это время я серьезно думал о ваших планах... И чем дальше я думаю на эту тему, предо мной все неотвязнее встает один вопрос... За ваши планы говорит все: и оригинальность мысли, и чистота намерений, и полная возможность осуществления, но у этих планов есть страшный недостаток, потому что здесь все зависит от одной личности и затем будущее обеспечено только формой. Именно, вы всего больше рассчитываете на формальную сторону дела, на строй предприятия. Что будет со всем этим, когда вас не будет или вы почему-либо откажетесь от выполнения своей идеи? Постараюсь быть яснее: вера в торжество формы, кажется, уже поколебалась у самых слепых ее защитников, потому что всякая форма является только паллиативной мерой, которая просто убаюкивает нас и заставляет закрывать глаза на продолжающее существовать зло... Дальше... Мне

думается, что успех каждого начинания больше всего зависит от органической подготовки всех действующих лиц. Вот я и думаю, что не лучше ли было бы начать именно с такой органической подготовки, а форма вылилась бы сама собой. Конечно, это несравненно медленнее, но зато успех будет несомненный. Ведь вам придется стать лицом к лицу с организованной силой эксплуатации, с одной стороны, а с другой — с пассивным сопротивлением той именно массы, для которой все будет делаться. Произойдут недоразумения, взаимное недоверие, ряд мелких плутней и обманов. Мне кажется, что было бы вернее начать именно с такой органической подготовки...

— Вы забываете, что время не ждет, а пока мы будем заниматься такой подготовкой, удобный случай будет упущен навсегда. Форма моего предприятия будет служить только временными лесами и вместе с тем школой. А дальше время и обстоятельства покажут, что придется изменить или оставить совсем.

— Да, но это очень скользкий путь...

— За неимением лучшего пока будем до-

вольствоваться им.

Лоскутов заговорил о систематической подготовке, как он понимал ее сам. Дело в том, что во всех предприятиях рассчитываются прежде всего экономические двигатели и та система форм, в какую отлилась жизнь. Но ведь все это служит только проявлением, внешней оболочкой, основой двигающей силы, которая лежит не вне человека, а внутри его. Практика всемирной истории с железной последовательностью доказала полную неосуществимость всех форм, какие боролись со злом его же средствами. Необходимо обратить внимание на нравственные силы, какие до сих пор не принимались в расчет новаторами. А между тем только на этих силах и можно создать что-нибудь истинно прочное и таким образом обеспечить за ним будущее.

— Но как же вы воспользуетесь этими нравственными силами? — спрашивал Привалов. — Опять-таки должна существовать форма, известная организация...

— Совершенно верно. Только здесь форма является средством, а центр тяжести перемещается с экономических интересов на нрав-

ственные силы. Притом здесь организация совсем не играет такой роли, как при осуществлении экономических интересов. Чем объяснить, например, живучесть нашего раскола и сектантства? Формальная сторона здесь является только побочным обстоятельством, а важны именно нравственные побуждения.

При последних словах глаза у Лоскутова заблестели, и он тяжело вздохнул, точно свалил гору с плеч.

Глава 52

В доме Ляховского шли деятельные приготовления к балу, который ежегодно давался по случаю рождения Зоси четвертого января. На этом бале собирался весь Узел, и Ляховский мастерски разыгрывал роль самого гостеприимного и радушного хозяина, какого только производил свет.

Приготовления к нынешнему балу доказывали своей торжественной суетой, что готовится нечто из ряду выходящее вон, не в пример прошлым годам. Вездесущий Альфонс Богданыч, как гуттаперчевый мяч, катался по всем комнатам, все видел, все слышал и все и всех успевал обругать В нем говорил теперь

не слуга или наемник, обязанный выполнить хозяйское приказание, а истинный артист. Предстоящая «забавка» была для Альфонса Богданыча самым серьезным делом, требовавшим глубоких соображений и слишком много «счастливых мыслей», как выражался он. За этими счастливыми мыслями Альфонс Богданыч по сту раз в день являлся к Зосе и наипочтительнейше начинал:

— Если Софья Игнатьевна не захочет дать мне совет, я погиб... У Софьи Игнатьевны столько вкуса... Боже, сколько вкуса! И глаз... о, какой острый, молодой глаз у Софьи Игнатьевны! Мне нужно думать целую неделю, а Софье Игнатьевне стоит только открыть ротик...

Но он не ограничивался одной Зосей, а бежал так же стремительно в нижний этаж, где жили пани Марина и Давид. Конечно, пани Марина очень любила русскую водку, но она не забыла еще, как танцевала с крутоусым Сангушко, и знала толк в забавках Гордый и грубый с пани Мариной в обыкновенное время. Альфонс Богданыч теперь рассыпался пред ней мелким бесом и в конце концов до-

бивался-таки своего.

Пани Марина, высокая и когда-то замечательно красивая женщина, теперь являлась жалкой развалиной. Обрюзглое лицо, мешки под глазами, красный нос, мутный тупой взгляд больших темных глаз и дрожавшие руки красноречиво свидетельствовали, чем занималась пани Марина в своих пяти комнатах, где у Приваловых был устроен приют для какого-то беглого архиерея Обстановка этих комнат была устроена практическим Альфонсом Богданычем из разных остатков и обрезков. Сборная мебель, полинявшие драпировки, слишком старые ковры на полу — все говорило о том, что он владел золотой способностью создавать из ничего.

— Только одно слово, пани Марина, а иначе — я погиб... Только одно слово. О, пани все на свете знает... пани все видела, пани стоит сказать одно слово, и мы все спасены.

Сделав таинственное лицо, Альфонс Богданыч подходил на цыпочках к пани Марине, наклонялся к самому уху и шептал сладко и льстиво:

— О! пани Марина, кто же не знает, что вы

первая красавица... во всей Польше первая!.. Да... И лучше всех танцевали мазурочки, и одевались лучше всех, и все любили пани Марину без ума. Пани Марина сердится на меня, а я маленький человек и делал только то, чего хотел пан Игнатий.

После этого вступления пани Марина наконец сдавалась на «одно слово», и Альфонс Богданыч выпытывал из нее все, что ему было нужно. Они беседовали по целым часам самым мирным образом, как самые лучшие друзья, и пани Марина оставалась очень довольна, рассматривая принесенные Альфонсом Богданычем образчики разных материй и план забавок.

— Мы откроем бал полонезом Огиньского, — рапортовал он, подпрыгивая на своем стуле. — Для паненки Зоси костюм из желтого атласа. Для пары нарочно выписываем из Сибири одного шляхтича: от-то танцует!..

Пани Марина сделала вопросительное лицо, и Альфонс Богданыч поспешил поправиться:

— О, конечно, он не так хорошо танцует, как танцевали кавалеры с пани Мариной...

Но пан Игнатий хочет видеть настоящую мазурку, знаете, мазур Хлопицкого? Не мазуру Контского, а мазур Хлопицкого... Паненка Зося не знает про кавалера... Сюрприз, все сюрприз, везде сюрприз...

Это известие оживило пани Марину, и она отнеслась к счастливой мысли Альфонса Богданыча с глубоким участием и обещала свою помощь и всякое содействие.

Зося хотя и не отказывалась давать советы Альфонсу Богданычу, но у нее на душе совсем было не то. Она редко выходила из своей комнаты и была необыкновенно задумчива. Такую перемену в характере Зоси раньше всех заметил, конечно, доктор, который не переставал осторожно наблюдать свою бывшую ученицу изо дня в день.

— Я советовал бы вам ежедневно проводить непременно два-три часа на воздухе, — говорил доктор.

— Хорошо... — как-то безучастно соглашалась Зося. — А что, как здоровье Nadine? Вы давно у них были, Борис Григорьич?

Зося сделалась необыкновенно внимательна в последнее время к Надежде Васильевне и

часто заезжала навестить ее, поболтать или увезти вместе с собой кататься. Такое внимание к подруге было тоже новостью, и доктор не мог не заметить, что во многом Зося старается копировать Надежду Васильевну, особенно в обстановке своей комнаты, которую теперь загромоздила книгами, гравюрами серьезного содержания и совершенно новой мебелью, очень скромной и тоже «серьезной».

Только с двумя привычками Зося была не в силах расстаться: это со своими лошадьми и с тысячью тех милых, очень дорогих и совершенно ненужных безделушек, которыми украшены были в ее комнате все столы, этажерки и даже подоконники. Между прочим, в новой обстановке, которую устраивала себе Зося, обходилось не без курьезов: так, рядом с портретом Дарвина на стене помещался портрет какого-то английского скакуна, под бюстом Шиллера красовался английский жокей и т. д. Комната Зоси выходила окнами на двор, на север; ее не могли заставить переменить эту комнату на другую, более светлую и удобную, потому что из своей комнаты Зося всегда могла видеть все, что делалось на дво-

ре, то есть, собственно, лошадей.

— В вас есть небольшая перемена... — осторожно пробовал навести разговор доктор.

— Понятное дело, Борис Григорьич, нам пора и за ум приниматься, а не все прыгать на одной ножке, — довольно грубо отвечала Зося, но сейчас же поправилась. — Вы, милый мой доктор, тысячу раз уж извините меня вперед... Я постоянно оказываю вам самую черную неблагодарность. Вы ведь извините меня? Да?

«Нервы», — думал про себя доктор, напрасно стараясь придумать какое-нибудь средство, чтобы оживить Зосю.

Впрочем, Зося оживлялась и сама, когда у них в доме бывал Лоскутов. Он зимой часто приезжал в Узел и бывал у Ляховских. Игнатий Львович постоянно твердил дочери: «Это редкий экземпляр, Зося... очень редкий. И замечательно умный экземпляр. Советую тебе поближе сойтись с ним. Общество умных людей — самая лучшая школа». Зося по-своему пользовалась советами отца и дурачилась в присутствии Лоскутова, как сумасшедшая. Ее забавлял этот философ не от мира сего, и она

в его присутствии забывала свою скуку. Надежда Васильевна иногда встречалась с Лоскутовым у Ляховских, и они втроем проводили очень весело время.

Половодов и Виктор Васильич несколько раз заглядывали к Зосе и пытались настроить хозяйку по-старому, но дело не клеилось. Зося скучала в их обществе, и «Моисей» наконец решил, что она «совсем прокисла и обабилась». Отделаться от Половодова было не так легко, потому что он в некоторых случаях имел терпение ходить по пятам целые месяцы сряду. Чтобы попасть в тон нового настроения, которое овладело Зосей, Половодов в свободное время почитывал серьезные статейки в журналах и даже заглядывал в ученые книги. Главным двигателем здесь являлось задетое самолюбие, потому что Половодов, как все мелкие эгоисты, не переносил соперничества и лез из кожи, чтобы взять верх. Но на этот раз последнее было довольно трудно сделать, потому что в философии Половодов смыслил столько же, сколько и в санскритском языке.

«Дурит девка, — несколько раз ворчал му-

ченик науки, ломая голову над Шопенгауэром. — И нашла чем заниматься... Тьфу!.. Просто замуж ей пора, вот и бесится с жиру...»

Зося, конечно, давно уже заметила благородные усилия Половодова, и это еще больше ее заставляло отдавать предпочтение Лоскутову, который ничего не подозревал. Последнее, однако, не мешало ему на всех пунктах разбивать Половодова каждый раз, когда тот делал против него ученую вылазку. Даже софизмы и самые пикантные bons mots[30] не помогали, а Зося заливалась самым веселым смехом, когда Половодов наконец принужденно смолкал.

За несколько дней до бала Зося в категорической форме объявила доктору, чтобы Лоскутов непременно был в числе гостей.

— Вот уж этого я никак не могу вам обещать, — попробовал упереться доктор. — Вы сами знаете, что Лоскутов порядочный нелюдим и на балах совсем не бывает... Не тащить же мне его силой. Зося?

— Скажите проще, что вы совсем не желаете исполнить мою просьбу? — настаивала Зося с обычным упрямством. — Тогда я обра-

щусь к Александру Павлычу, наконец, к Альфонсу Богданычу...

— Хорошо, я передам ваше непременное желание Лоскутову.

— Ах, вот за это я вас люблю. Борис Григорьич... Как и чем прикажете благодарить? Я вам что-нибудь вышью...

— Все это хорошо, но я, право, не понимаю таких неопределенных желаний, — серьезно говорил доктор. — Тем более что мы можем показаться навязчивыми. Это детский каприз...

— И пусть будет каприз! Если я этого хочу, доктор?

Доктору оставалось только пожать плечами, а Зося надула свои пухлые губки и уже зло проговорила:

— Хорошо, пусть будет по-вашему, доктор... Я не буду делать особенных приглашений вашему философу, но готова держать пари, что он будет на нашем бале... Слышите — непременно! Идет пари? Я вам вышью феску, а вы мне... позвольте, вы мне подарите ту статуэтку из терракоты, помните, — ребенка, который снимает с ноги чулок и падает. Соглас-

ны?

— Хорошо, — согласился доктор, протягивая руку, и, пристально взглянув на расширенные зрачки Зоси, подумал: «Нет, это уж не нервы, а что-нибудь посерьезнее...»

Все эти хлопоты, которые переживались всеми в старом приваловском доме, как-то не касались только самого хозяина, Игнатия Львовича. Ему было не до того. Пролетка Веревкина чуть не каждый день останавливалась пред подъездом, сам Nicolas грузно высаживал свою «натуру» из экипажа и, поднявшись с трудом во второй этаж, медведем вваливался в кабинет Игнатия Львовича.

— Как драгоценнейшее здравие почтеннейшего Игнатия Львовича? — басил Nicolas, пожимая сухую тонкую руку Ляховского своей пятерней.

— Ах, это вы!.. — удивлялся каждый раз Ляховский и, схватившись за голову, начинал причитать каким-то бабьим голосом: — Опять жилы из меня тянуть... Уморить меня хотите, да, уморить... О, вы меня сведете с ума с этим проклятым делом! Непременно сведете... я чувствую, что у меня в голове уже обра-

зовалась пустота.

— Если в голове, то это еще не велика беда, — шутил Nicolas, разваливаясь в кресле с видом человека, который пришел в свою комнату. — А вот насчет дельца позвольте...

— Да ведь я вам говорил, что ничего не знаю, что все бумаги у Половодова. С него и спрашивайте.

— Александр Павлыч говорит наоборот, именно, что все документы как по наделу мастеровых Шатровского завода, так и по замежеванию башкирских земель хранятся у вас.

— Нет, у меня ничего нет, — каким-то упавшим голосом отвечал Ляховский, делая птичье лицо.

— Нет, документы у вас.

— Я же говорю вам, что ничего у меня нет.

— А я вам повторяю, что у вас, и не выйду из вашего кабинета, пока вы мне их не покажете.

— Это разбой, дневной разбой!.. — вскрикивал Ляховский, начиная бегать по кабинету своим сумасшедшим шагом.

Веревкин преспокойно покуривал сигару, выжидая, когда наконец Ляховскому надоест

бесноваться. Побегав с полчаса, Ляховский вдруг останавливался и веселым тоном, как человек, только что нашедший потерянную вещь, объявлял:

— Николай Иваныч... Да ведь эти проклятые документы должны храниться в дворянском опекунском управлении, в Мохове. Да, да... Я хорошо это помню. Отлично помню...

Веревкин вместо ответа вынимал из своего портфеля отношения моховского дворянского опекунского управления за № 1348; в нем объявлялось, что искомых документов в опеке налицо не имеется. Ляховский читал это отношение через свои очки несколько раз самым тщательным образом, просматривая бумагу к свету, нет ли где подскобленного места, и, наконец, объявлял:

— Это вы сами написали, Николай Иваныч...

— Игнатий Львович, вы, кажется, считаете меня за какого-то шута горохового? А не угодно ли вам показать опись, по которой вы получали бумаги и документы при передаче опекунских дел?

— Какую опись?

— Да ведь вы опекун?

— Опекун. Ах, позвольте... Нужно спросить Василия Назарыча, он должен помнить...

— Он говорит, что передал все документы вам.

— Не может быть... Вы ослышались, Николай Иваныч!..

Подобная комедия повторялась чуть не изо дня в день в течение последних трех месяцев. Сначала пробовал хлопотать сам Привалов, но ничего не мог добиться и махнул рукой, передав дело Веревкину. Ляховский дошел до того, что даже прятался от Веревкина и, как был, в своем ваточном пальто и в туфлях, в таком костюме и улепетывал куда-нибудь в сад или в конюшню. Этот остроумный маневр несколько раз спасал Ляховского от нападений Nicolas, пока последний со своей стороны не придумал некоторого фокуса. Веревкин звонил у подъезда, и, пока Палька отворял двери, он рысью обегал дом и караулил ворота, когда Ляховский побежит от него через двор. Тут остроумный адвокат орлом налетал на свою добычу, и опять Начиналась та же сказка про белого бычка, то есть разговор

о документах.

— Вам будет плохо, — предупредил Веревкин Ляховского за несколько дней до бала. — Отдайте добром...

— Послушайте, Николай Иваныч, — мягко ответил Ляховский. — Отчего Сергей Александрыч сам не хочет прийти ко мне?.. Мы, может быть, и столковались бы по этому делу.

— Да ведь он у вас был не один десяток раз, и все-таки из этого ничего не вышло, а теперь он передал все дело мне и требует, чтобы все было кончено немедленно. Понимаете, Игнатий Львович: не-мед-лен-но... Кажется, уж будет бобы-то разводить. Да Привалова и в городе нет совсем, он уехал на мельницу.

По вечерам в кабинете Ляховского происходил иногда такой разговор между самим хозяином и Половодовым:

— Я больше не могу, Александр Павлыч, — усталым голосом говорил Ляховский. — Этот Веревкин пристает с ножом к горлу.

— Немножко еще потерпите, Игнатий Львович, — отвечал Половодов, вытягивая свои длинные ноги. — Ведь вы знаете, что для нас теперь самое важное — выиграть время...

А когда Оскар Филипыч устроит все дело, тогда мы с Николаем Иванычем не так заговорим.

— Оскар Филипыч, Оскар Филипыч, Оскар Филипыч... А что, если ваш Оскар Филипыч подведет нас? И какая странная идея пришла в голову этому Привалову... Вот уж чего никак не ожидал! Какая-то филантропия...

— Это нам на руку: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А вы слышали, что дела у Василия Назарыча швах?..

— О да, слышал... Ведь вот, подумаешь; какой странный случай вышел! — удивлялся Ляховский.

— Ничего странного нет, а, наоборот, самое естественное дело. Ведь еще вопрос, откуда у Бахарева капиталы...

— Нет, это вы уж напрасно, — вступился Ляховский. — Я знаю слишком хорошо Василия Назарыча и могу поручиться за него...

— Это плохое доказательство. Вот я за вас сегодня поручусь, а вы меня завтра ко дну спустите... Ведь спустите и не поморщитесь. Ха-ха! Нисколько не обижусь, поелику homo homini lupus est.[31] Кстати, у вас на святках

бал готовится? Отличное дело…

— Да, бал, — упавшим голосом повторил Ляховский. — Деньги, деньги и деньги… И какой дурак придумал эти балы?!..

Глава 53

Наконец наступил и многознаменательный день бала. Весь Узел, то есть узловский beau monde, был поднят на ноги с раннего утра. Бедные модистки не спали накануне целую ночь, дошивая бальные платья. Хиония Алексеевна не выходила от Веревкиных, где решался капитальный вопрос о костюме Аллы. Вероятно, ни один генерал, даже перед самым серьезным делом, никогда не высказал такой тонкой сообразительности и находчивости. Каждая мелочь была обсуждена на предварительном совещании, затем в проекте, потом производился маленький опыт, и, наконец, следовало окончательное решение, которое могло быть обжаловано во второй инстанции, то есть когда все эти незаметные мелочи будут примерены Аллой в общем.

— Ах, душечка, не поднимайте плечи, — упрашивала Хиония Алексеевна Аллу, — вот у вас в этом месте, у лопатки, делается такая

некрасивая яма... Необходимо следить за собой.

— Какие глупости... — грубила Алла. — Вы меня муштруете, как пожарную лошадь.

— После сами благодарить будете за науку, — трещала Хина. — Никто своего счастья не знает... Не все богатым невестам за богатых женихов выходить, и мы не хуже их. Не так ли, Агриппина Филипьевна? Деньги — как вода: пришли и ушли, только и видел... Сегодня богатая невеста, а завтра... Ах, я, кажется, не дождусь до вечера, чтобы посмотреть на Nadine Бахареву, на эту гордячку. Так интересно, так интересно... А Привалов-то, представьте, ведь он был влюблен в нее... да! И где только глаза у этих мужчин. Конечно, Привалов очень умный человек и теперь, кажется, одумался.

Привалов тоже готовился к балу, испытывая довольно приятное волнение. Он думал о том, что увидит сегодня Надежду Васильевну. Зачем, для чего все это — Привалов не хотел даже думать, отдаваясь волне, которая опять подхватила и понесла его. Перед рождеством Привалов почти все время провел в Гарчиках;

к Бахаревым он заходил раза два, но все как-то неудачно: в первый раз Надежда Васильевна не показалась из своей комнаты, во второй она куда-то уехала только что перед ним. Ипат, кажется, не разделял веселых чувств своего барина и все время тяжело вздыхал, пока помогал барину одеваться, то есть ронял вещи, поднимал их, задевал ногами за мебель и т. д.

Ночь была ясная, морозная, небо точно обсыпано брильянтовой пылью. Снег светился синеватыми искрами. Привалов давно не испытывал такого бодрого и счастливого настроения, как сегодня, и с особенным удовольствием вдыхал полной грудью морозный воздух.

В передней стояла настоящая давка, хотя Привалов приехал довольно рано. Кроме двух горных инженеров и одного адвоката, с которым Привалов встречался у Половодова, все был незнакомый народ. Разодетые дамы поднимались по лестнице, шелестя длинными шлейфами. Привалов чувствовал, что они испытывают такое же приятное волнение, какое испытывал он сам; это видно было по ли-

хорадочно светившимся глазам, по нервным движениям. Особенно одна молоденькая девушка в белом платье обратила на себя внимание Привалова. Не было сомнения, что это был ее первый выезд, и дебютантка так мило конфузилась, и вместе с тем она была так счастлива... Привалов чувствовал, что у нее от слишком сильного возбуждения руки и ноги не повиновались и точно мешали, когда хотелось вспорхнуть и улететь под звуки доносившейся из главной залы музыки. Молодые собаки испытывают то же самое на первой охоте, но Привалову показалось такое сравнение слишком грубым.

— Вот вас-то только и недоставало, Сергей Александрыч! — кричали в два голоса «Моисей» и Давид, подхватывая Привалова под руки.

— А что? — справился Привалов, с любопытством поглядывая на завитых, как барашки, благоприятелей.

— Хотите визави? — предлагал «Моисей».

— Я не танцую.

— Это еще что за новости... Вы шутите? Пойдемте, батенька, приглашайте поскорее,

есть тут одна докторша... спасибо после скажете! Куда вы? Постойте... Ха-ха! Представьте себе, этот сумасшедший здесь...

— Какой сумасшедший? — проговорил Привалов, почувствовав что-то неприятное.

— Ну, да этот... Лоскутов! Ха-ха!.. Вот вам визави; два сапога — пара...

Привалов кое-как отделался от веселых молодых людей с шапокляками и побрел в главную залу, где теперь публика бродила густой шумевшей толпой. Известие, что Лоскутов на бале, неприятно поразило Привалова. Остановившись в дверях, он обвел глазами весь зал. Везде было так много света, что Привалов Даже немного прищурил глаза; лица мешались в пестрой разноцветной куче, шевелившейся и гудевшей, как пчелиный рой. Больше всего Привалова поразил самый зал: он даже не узнал его. Экзотическая зелень по углам, реставрированная живопись, новые драпировки на окнах, навощенный паркет, — словом, зал благодаря стараниям Альфонса Богданыча принял совершенно другой вид. В это время Привалов заметил в Толпе знакомую фигуру философа, который шел по залу с

таким видом, как будто попал в царство теней.

«Это она идет с ним под руку...» — с тоской подумал Привалов, стараясь разглядеть даму в белом атласном платье, которая шла, опираясь на руку Лоскутова.

— Посмотрите, пожалуйста, какова парочка! — кричал «Моисей», точно вынырнув откуда-то из-под земли. — Видели Зосю, как она шла с Лоскутовым? Ха-ха...

— Разве это была Зося?

— А то как же? Конечно, она. Ведь взбредет же человеку такая блажь... Я так полагаю, что Зося что-нибудь придумала. Недаром возится с этим сумасшедшим.

— А вот и Хиония Алексеевна! — крикнул «Моисей», оставляя Привалова.

По лестнице величественно поднимались две группы: впереди всех шла легкими шажками Алла в бальном платье цвета чайной розы, с голыми руками и пикантным декольте. За ней Иван Яковлич с улыбкой счастливого отца семейства вел Агриппину Филипьевну, которая была сегодня необыкновенно величественна. Шествие замыкали Хиония

Алексеевна и Виктор Николаич.

Привалов раскланялся с дамами и пожал тонкую руку Ивана Яковлича, который все время смотрел на него улыбавшимися глазами.

— Ах, сколько публики, сколько публики! — восклицала с восторгом институтки Хиония Алексеевна, кокетливо прищуривая глаза. — Вот, Сергей Александрыч, вы сегодня увидите всех наших красавиц... Видели Аню Пояркову? Высокая, с черными глазами... О, это такая прелесть, такая прелесть!..

Между прочим, Хина успела показать глазами на Аллу: дескать, какова девочка, если знаешь толк в женщинах. Вся компания скоро смешалась с публикой, а Привалов пошел через зал в боковую комнату. Он знал, что на рождественском бале всегда бывает сама пани Марина, и ему хотелось ее увидать. Пани Марина шла как раз навстречу вместе с Игнатием Львовичем Она была необыкновенно эффектна в своем гранатовом бархатном платье с красной камелией в волосах и ответила на поклон Привалова едва заметным кивком головы, улыбаясь стереотипной улыбкой хо-

зяйки дома.

— Вы, кажется, не знакомы? — лепетал Игнатий Львович, походивший в своем фраке на деревянного манекена. — Пани Марина, это Сергей Александрыч Привалов... рекомендую. Прекрасный молодой человек, которого ты непременно полюбишь... Его нельзя не полюбить!

— Очень рада познакомиться, — протянула пани Марина, подавая Привалову свою руку с обычным жестом театральной королевы.

Привалов не успел ничего ответить пани Марине, потому что его заставила обернуться чья-то рука, тянувшая его за плечо. Обернувшись, Привалов увидел Половодовых; Александр Павлыч, пожимая руку Привалову, говорил:

— Наконец-то и вы выглянули на свет божий... Тонечка, представь себе, Сергей Александрыч не танцует. Мне сейчас «Моисей» докладывал...

— Вероятно, Сергей Александрыч пошутил, — певуче и мягко ответила Антонида Ивановна. — Или, может быть, Сергей Александрыч стыдится танцевать с провинциал-

ками, — кокетливо прибавила она, чуть показывая свои белые мелкие зубы.

Антонида Ивановна показалась Привалову сегодня ослепительно красивой, красивой с ног до головы, от складок платья до последнего волоска.

— Тонечка, извини меня, — торопливо заговорил Половодов, осторожно освобождая свой локоть из-под руки жены. — Я сейчас... только на одну минуточку оставлю тебя с Сергеем Александрычем.

Антонида Ивановна ничего не ответила мужу, а только медленно посмотрела своим теплым и влажным взглядом на Привалова, точно хотела сказать этим взглядом: «Что же вы не предлагаете мне руки? Ведь вы видите, что я стою одна...» Привалов предложил руку, и Антонида Ивановна слегка оперлась на нее своей затянутой выше локтя в белую лайковую перчатку рукой.

— Пойдемте в зал, — предложила Антонида Ивановна, подбирая свободной рукой шлейф платья, на который сейчас наступил какой-то неловкий кавалер.

В это время Половодов вернулся, и по его

лицу можно было заметить, что он очень доволен, что сбыл жену с рук.

— Знаете, кто сегодня всех красивее здесь? — спрашивал он, обращаясь к Привалову.

— Конечно, Зося и Надежда Васильевна... — ответила Антонида Ивановна, делая равнодушное лицо.

— А вот и нет, Тонечка... Ты видела Верочку Бахареву?

— Нет, а что?

— Положительно, самая красивая девушка здесь... Это, кажется, еще первый ее выезд в свет. Да, да... Во всем видна эта непосредственность, какая-то милая застенчивость, — одним словом, как только что распускающийся бутон.

Антонида Ивановна слишком хорошо знала заячью натуру своего мужа и поэтому сомнительно покачала головой. Александр Павлыч хвалил Верочку, чтобы отвести глаза. Его увлечение Зосей не было тайной ни для кого.

— Обратите, пожалуйста, внимание на нее, — шепнул Половодов на ухо Привалову. — Плечи покатые, грудь... а на спине по-

звонки чуть-чуть выступают розовыми ямочками. Это бывает только у брюнеток.

— Вы нынче что-то совсем не заглядываете к нам? — ласково пеняла Антонида Ивановна, когда Половодов ушел. — То есть вы бываете по делу у Александра Павлыча и сейчас же бежите, вероятно, из страха встретиться со мной...

— Да все как-то некогда было, — оправдывался Привалов.

— Вот уж этому никогда не поверю, — горячо возразила Половодова, крепко опираясь на руку Привалова. — Если человек что-нибудь захочет, всегда найдет время. Не правда ли? Да я, собственно, и не претендую на вас, потому что кому же охота скучать. Я сама ужасно скучала все время!.. Так, тоска какая-то... Все надоело.

Антонида Ивановна тихонько засмеялась при последних словах, но как-то странно, даже немного болезненно, что уж совсем не шло к ее цветущей здоровьем фигуре. Привалов с удивлением посмотрел на нее. Она тихо опустила глаза и сделала серьезное лицо. Они прошли молча весь зал, расталкивая публику

и кланяясь знакомым. Привалов чувствовал, что мужчины с удивлением следили глазами за его дамой и отпускали на ее счет разные пикантные замечания, какие делаются в таких случаях.

— Сядемте вот здесь, в уголок, — усталым голосом проговорила Половодова, опускаясь на бархатный диванчик.

Публика раздалась, образуя круг, по которому плавными размахами пошли кружиться танцующие пары. В этом цветочном вихре мелькнула козлиная бородка «Моисея», который работал ногами с особенным ожесточением; затем пролетел Давид с белокурой Аней Поярковой; за ним молодой доктор с румяным лицом и развевавшимися волнистыми волосами. Несколько горных инженеров и адвокатов, франт учитель гимназии, жандармский капитан, несколько банковских служащих — словом, обычная танцующая узловская публика. Привалов рассмотрел Верочку, которая в розовом платье вихрем кружилась по залу, совсем повиснув на руке Половодова.

— Посмотрите, вон Зося... — шепнула По-

ловодова, указывая веером на проходившую мимо парочку.

Зося шла под руку с высоким красавцем поляком, который в числе других был специально выписан для бала Альфонсом Богданычем. Поляк был необыкновенно хорош, хорош чистотой типа, выдержкой, какой недостает русскому человеку. Видимо, что он был в своей сфере, как рыба в воде, и шел свободной уверенной походкой, слегка улыбаясь своей даме. Привалов видел, как он взял правой рукой Зосю за талию, но не так, как другие, а совсем особенным образом, так что Зося слегка наклонилась на его широкую грудь всем телом. Свободным движением поляк расчистил себе дорогу и плавными мягкими кругами врезался в кружившуюся толпу.

— Антонида Ивановна, позвольте вас пригласить! — кричал «Моисей», вынырнув из толпы.

Антонида Ивановна поднялась, «Моисей» взял ее за талию и стал в позицию. Она через его плечо оглянулась на Привалова и улыбнулась своей загадочной улыбкой. Волна танцующих унесла и эту пару.

Глава 54

То чувство приятного возбуждения, с которым Привалов явился на бал, скоро сменилось неопределенным тяжелым чувством. Спертый воздух, блеск огней, накоплявшийся удушливый жар и общая толкотня скоро утомили Привалова, хотя ему все еще не хотелось расстаться с своим уголком. Здесь он был защищен танцующей публикой от того жадного внимания, с каким смотрели на него совсем незнакомые ему люди. Слава его как миллионера еще не успела остыть, и многие явились на бал со специальной целью посмотреть на него. Привалов чувствовал это общее, слишком тяжелое для него, любопытство в выражении устремленных на него взглядов, в шепоте, которым провожали его. Ему страстно захотелось увидеть теперь Надежду Васильевну. С этой целью он поднялся с своего диванчика и стал бродить из комнаты в комнату. Скоро он увидал знакомый профиль и эту гордую умную голову, которая так хорошо была поставлена на плечах, как это можно заметить только у античных статуй.

Надежда Васильевна шла с доктором и

что-то тихо рассказывала ему. На открытой шее ярко блестел крошечный брильянтовый крестик. В русых волосах белела камелия. Привалов внимательно следил за ней издали и как раз в это время встретился глазами с Хионией Алексеевной, которая шептала что-то на ухо Агриппине Филипьевне и многозначительно улыбнулась, показав головой на Привалова. Привалов даже покраснел под взглядом этих почтенных матрон и испытал самое неприятное чувство, как будто он неожиданно наступил на змею. Он повернулся назад.

— Постойте, Сергей Александрыч, — остановил Привалова Nicolas, облеченный в черную пару и белые перчатки. — Куда это вы бредете?

— Да так... Сам не знаю куда.

— И я тоже... Значит, сошлись характерами! Проползеmте в буфет, там есть некоторый ликер... только как он называется — позабыл... Одним словом, этакая монашеская рецептура: Lacrima Christi[32] или Слезы Марии Магдалины, что-то в этом роде. Ведь вы уважаете эти ликеры, батенька... Как же, я от-

лично помню!

Nicolas подхватил Привалова под руку и потащил через ряд комнат к буфету, где за маленькими столиками с зеленью — тоже затея Альфонса Богданыча, — как в загородном ресторане, собралась самая солидная публика: председатель окружного суда, высокий старик с сердитым лицом и щетинистыми бакенбардами, два члена суда, один тонкий и длинный, другой толстый и приземистый; прокурор Кобяко с длинными казацкими усами и с глазами навыкате; маленький вечно пьяненький горный инженер; директор банка, женатый на сестре Агриппины Филипьевны; несколько золотопромышленников из крупных, молодцеватый старик полицеймейстер с военной выправкой и седыми усами, городской голова из расторговавшихся ярославцев и т. д.

— Одначе здорово народу-то понаперло… — проговорил Веревкин.

Привалов здоровался со знакомыми; не успевая отвечать на вопросы, которые сыпались на него градом. «Да что это вы вздумали строить мельницу, Сергей Александрыч? Охо-

та вам, право... И в клуб не заглянете — это просто неделикатно!» Общее внимание смутило Привалова. Он многих совсем не знал, но его, очевидно, знали все и теперь с чисто провинциальным ненасытным любопытством глядели во все глаза. Большинство смотрело на наследника миллионов, как на редкую птицу. На некоторых лицах мелькало почти враждебное выражение. Но общий тон все-таки был самый дружелюбный, как на Руси встречают всякого нового человека с громким именем, и только приваловская мельница нагоняла облачка на это ясное небо.

— А, черрт... Брось ты свою мельницу, — лепетал пьяный инженер, хватая Привалова за рукав. — Ей-богу, брось... Ну ее к нелегкому!.. А мы тебя лучше женим... Господа, давайте женим Сергея Александрыча; тогда все пойдет как по маслу.

— А ведь это верно, — отозвался кто-то из толпы. — Женим... Тогда и в клуб будет ходить, и в винт, грешным делом... Ха-ха!.. Уж это верно... Да-с!..

— А вон Данилушка нагружается, — заметил Веревкин, тыкая пальцем в угол. — Ну

что, Данилушка, устроил разрешение вина и елея?

— Разрешил... — прохрипел Данилушка. — Вон какая компания набралась: один другого лучше...

Около Данилушки собрался целый круг любопытных, из которых прежде всего выделялась массивная фигура Лепешкина, а потом несколько степенных лиц неопределенных профессий. По костюмам можно было заметить, что это все был народ зажиточный, откормленный, с легким купеческим оттенком.

— Это все наши воротилы и тузы... — шепнул Веревкин на ухо Привалову. — Толстосумы настоящие! Вон у того, который с козлиной бородкой, за миллион перевалило... Да! А чем нажил, спросите: пустяками. Случай умел поймать, а там уж пошло.

— Сергей Александрыч, за компанию выпить? — предлагал Данилушка.

— Благодарю...

— Раздавим муху, дуй ее горой, — отозвался Лепешкин.

— А... вы здесь? — спрашивал Половодов, продираясь сквозь толпу. — Вот и отлично...

Человек, нельзя ли нам чего-нибудь... А здесь все свой народ набрался, — ораторствовал он, усаживаясь между Приваловым и Данилушкой. — Живем одной семьей... Так, Данилушка?

— В лучшем виде, Александр Павлыч... Уж такая компания, можно сказать, такая компания: весь свет насквозь произойди — не найдешь...

— Только вот Сергея Александрыча недоставало... Ну, теперь он от нас не отобьется. Не-ет, шалишь!

В буфете толпились усовершенствованные коммерсанты с новым пошибом. Сквозь купеческую основу пробивался новый тип, который еще не выяснился во всех деталях. Они держали себя наособицу от других купцов, к которым относились немного брезгливо; но до настоящего кровного барина этому полумужичью было еще далеко. В покрое платья, в движениях, в разговоре — везде так и прорывалась настоящая крестьянская складка, которой ничто не могло вытравить. Были тут крупные хлебные коммерсанты, ворочавшие миллионами пудов хлеба ежегодно, были

скупщики сала, пеньки, льняного семени, были золотопромышленники, заводчики и просто крупные капиталисты, ворочавшие банковскими делами. Привалов с глубоким интересом всматривался в этот новый для него тип, который создался и вырос на наших глазах, вместе с новыми требованиями, запросами и веяниями новой жизни.

— Все это козырные тузы, — проговорил Веревкин. — Крепкий народ, а до Ляховского да Василья Назарыча далеко... Пороху не хватает.

Привалов ничего не отвечал. Он думал о том, что именно ему придется вступить в борьбу с этой всесильной кучкой. Вот его будущие противники, а может быть, и враги. Вернее всего, последнее. Но пока игра представляла закрытые карты, и можно было только догадываться, у кого какая масть на руках.

— Хотите, со всеми познакомлю? — предлагал Веревкин, попивая свой ликер. — Все мои клиенты.

— Нет, как-нибудь после...

Появилось откуда-то шампанское. Прива-

лова поздравляли с приездом, чокались бокалами, высказывали самые лестные пожелания. Приходилось пить, благодарить за внимание и опять пить. После нескольких бокалов вина Привалов поднялся из-за стола и, не обращая внимания на загораживавших ему дорогу новых друзей, кое-как выбрался из буфета.

— Ну, теперь идите и любуйтесь нашими красавицами, — отпускал Половодов свою жертву. — Ведь провинция... Полевые цветочки, незабудочки. А относительно Верочки не забывайте моего совета.

Привалов вздохнул свободнее, когда вышел наконец из буфета. В соседней комнате через отворенную дверь видны были зеленые столы с игроками. Привалов заметил Ивана Яковлича, который сдавал карты. Напротив него сидел знаменитый Ломтев, крепкий и красивый старик с длинной седой бородой, и какой-то господин с зеленым лицом и взъерошенными волосами. По бледному лицу Ивана Яковлича и по крупным каплям пота, которые выступали на его выпуклом облизанном лбу, можно было заключить, что шла

очень серьезная игра.

Привалов обошел несколько раз все комнаты, отыскивая Надежду Васильевну и стараясь не встречаться с кем-нибудь из своих новых знакомых. Тоска навалилась на Привалова с новой силой... Зачем он здесь? Зачем сейчас знакомился с этими людьми и пил шампанское?.. «Глупо», — подумал Привалов, опускаясь на первый попавшийся на глаза стул. Он теперь как-то безучастно смотрел на проходившую мимо него публику. Его мысль унеслась в далекое прошлое, когда в этих самых комнатах шел пир горой — для других людей... Вот здесь веселились все эти Полуяновы, Размахнины, Колпаковы, которые теперь коротают дни в своих страшных развалинах. Может быть, и этот дом ждет такая же участь в недалеком будущем.

— А я вас давно ищу, Сергей Александрыч, — весело заговорила Надежда Васильевна, останавливаясь пред Приваловым. — Вы, кажется, скучаете?.. Вот мой кавалер тоже не знает, куда ему деваться, — прибавила она с улыбкой, указывая головой на Лоскутова, который действительно был жалок в настоя-

щую минуту.

Привалов подал стул Надежде Васильевне.

— Вы, вероятно, удивляетесь, что встретили меня на этом бале? — спрашивала девушка, когда Лоскутов ушел.

— Нисколько... Почему же другие могут быть на бале, а вам нельзя?

— Да... но при теперешних обстоятельствах... Словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Мне совсем не до веселья, да и папа не хотел, чтобы я ехала. Но вы знаете, чего захочет мама — закон, а ей пришла фантазия непременно вывозить нынче Верочку... Я и вожусь с ней в качестве бонны.

— Я видел давеча, как Вера Васильевна танцевала... Она производит фурор.

Надежда Васильевна печально улыбнулась и слегка пожала плечами. Привалов видел, что она что-то хочет ему объяснить и не решается. Но он был так счастлив в настоящую минуту, так глупо счастлив и, как слишком счастливые люди, с эгоизмом думал только о себе и не желал знать ничего более.

— Мазурка! — пронеслось по всем залам.

— Ах, я, кажется, с кем-то танцую... —

вспомнила Надежда Васильевна, поднимаясь с места навстречу подходившему кавалеру.

Счастье так же быстро улетело, как и прилетело.

Глава 55

Когда с хор захватывающей волной полились звуки мазурки Хлопицкого, все бросились в зал, где танцующие пары выстроились длинной шеренгой. Впереди всех стоял седой толстый пан Кухцинский, знаменитый танцор; он танцевал с самой пани Мариной. За ними стоял молодой красавец поляк, пан Жукотынский с Зосей; дальше пан Мозалевский с Надеждой Васильевной, Давид с Верочкой, «Моисей» с Аней Поярковой, молодой доктор с Аллой, Альфонс Богданыч с Агриппиной Филипьевной и т. д. Расправив седой ус и щелкнув каблуками, пан Кухцинский пошел в первой паре с тем шиком, с каким танцуют мазурку только одни поляки. Публика зашепталась и заахала от восторга, любуясь первыми двумя парами. Опьяняющие звуки мазурки волновали всех, и даже из буфета, из игорной комнаты вышли все, чтобы посмотреть на мазурку. Какой-то седой старик отбивал

такт ногой, пьяный инженер, прищелкивая пальцами и языком, вскрикивал каким-то бабьим голосом:

— Лихо... черрт побери!.. Тара-та-тта, тара-рарра-ра... та! И-их... Браво, Кухцинский!.. Лихо, Кухцинский!..

Мазурка продолжалась около часа; пары утомились, дамы выделывали па с утомленными лицами и тяжело переводили дух. Только одни поляки не чувствовали никакой усталости, а танцевали еще с большим воодушевлением. Привалов в числе другой нетанцующей публики тоже любовался этим бешеным танцем и даже пожалел, что сам не может принять участия в нем.

— А вы вот где, батенька, скрываетесь... — заплетавшимся языком проговорил над самым ухом Привалова Веревкин: от него сильно пахло водкой, и он смотрел кругом совсем осовелыми глазами. — Важно... — протянул Веревкин и улыбнулся пьяной улыбкой. Привалов в первый еще раз видел, что Веревкин улыбается, — он всегда был невозмутимо спокоен, как все комики по натуре.

— Да, недурно, — согласился Привалов.

— Недурно?.. Ах, вы... Ну, да все это вздор!.. — добродушно проговорил Веревкин и, взглянув на Привалова сбоку, прибавил совсем другим тоном: — А я сегодня того... Да, в приличном градусе. И знаете, успел продуть этому живодеру... Ну, Ломтеву... три тысячи. Да... Только я свои собственные продул, кровные, а не чужие. А вы знаете, что я вам скажу, Сергей Александрыч? Мы, то есть я да вы, конечно, — порядочные люди, а из остальных... ну, вот из этих, которые танцуют и которые смотрят, знаете, кто здесь еще порядочные люди?

— Очень щекотливый вопрос, Николай Иваныч.

— Нет, не щекотливый... Оставимте церемонии, Сергей Александрыч. Вон смотрите: видите доктора Сараева? Вот идет с полной высокой дамой... Доктор и есть самый порядочный человек, хотя он считает меня за порядочного подлеца. Ну, да это все равно: дело не во мне, а в докторе. Я его очень уважаю... Потом Лоскутов порядочный человек тоже, хотя и не от мира сего. Ну, господь с ним... Вот уже целых двух нас считали. Пожалуй, пред-

седатель суда недурной человек, только в нем живого места нет: он, должно полагать, даже потеет статьями закона... Ей-богу! «И прииде к Иисусу законник некий...» Вот он самый и есть, законник-то этот, наш председатель. Да!

Мазурка кончилась сама собой, когда той молоденькой девушке, которую видел давеча Привалов на лестнице, сделалось дурно. Ее под руки увели в дамскую уборную. Агриппина Филипьевна прошла вся красная, как морковь, с растрепавшимися на затылке волосами. У бедной Ани Поярковой оборвали трен, так что дамы должны были образовать вокруг нее живую стену и только уже под этим прикрытием увели сконфуженную девушку в уборную.

Зося шла одна; она отыскивала в толпе кого-то своими горевшими глазами... У двери она нашла, кого искала.

— Я устала... — слабым голосом прошептала девушка, подавая Лоскутову свою руку. — Ведите меня в мою комнату... Вот сейчас направо, через голубую гостиную. Если бы вы знали, как я устала.

— Не следовало так много танцевать, — за-

метил Лоскутов серьезно.

— По-вашему же сидеть и скучать, — капризным голосом ответила девушка и после небольшой паузы прибавила: — Вы, может быть, думаете, что мне очень весело... Да?.. О нет, совершенно наоборот; мне хотелось плакать... Я ведь злая и от злости хотела танцевать до упаду.

По дороге они встретили доктора Сараева.

— Доктор, помните наше пари? — крикнула Зося, когда доктор уже прошел мимо них. — Вы проиграли...

Доктор остановился, посмотрел на улыбавшееся ему лицо Зоси и задумался.

— Вот сюда, — проговорила Зося, указывая Лоскутову на затворенную дверь.

Они вошли в совсем пустую комнату с старинной мебелью, обитой красным выцветшим бархатом. Одна лампа с матовым шаром едва освещала ее, оставляя в тени углы и открытую дверь в дальнем конце. Лоскутов усадил свою даму на небольшой круглый диванчик и не знал, что ему делать дальше. Зося сидела с опущенными глазами и тяжело дышала.

— Вам не принести ли воды? — спросил Лоскутов.

Зося подняла на него свои чудные глаза, очевидно, не понимая вопроса, а затем слабо улыбнулась и движением руки указала Лоскутову место рядом с собой.

— Здесь... — прошептала она, опять опуская глаза.

Лоскутов вопросительно посмотрел на Зосю и осторожно сел рядом.

— Вы считаете меня совсем пустой девушкой... — заговорила Зося упавшим, глухим голосом. — Я вижу, не отпирайтесь. Вы думаете, что я способна только дурачиться, наряжаться и выезжать лошадей. Да? Ведь так?

— Я не понимаю, к чему такой разговор, — проговорил Лоскутов. — Я, кажется, ничем не дал повода так думать...

— Но ведь я могла быть другим человеком, — продолжала Зося в каком-то полузабытьи, не слушая Лоскутова. — Может быть, никто так сильно не чувствует пустоту той жизни, какою я живу... Этой пустотой отравлены даже самые удовольствия... Если бы... Вам, может быть, скучно слушать мою болтовню?

— Нет, наоборот... я с удовольствием...

— А сознайтесь, ведь вы никогда даже не подозревали, что я могу задумываться над чем-нибудь серьезно... Да? Вы видели только, как я дурачилась, а не замечали тех причин, которые заставляли меня дурачиться... Так узнайте же, что мне все это надоело, все!.. Вся эта мишура, ложь, пустота давят меня...

— Но ведь в ваших руках все средства, чтобы устроить жизнь совсем иначе... Вам стоит только захотеть.

— А если то, чего я хочу и чего добиваюсь, не в моей власти?.. Надо мной будут смеяться, если я скажу... будут считать сумасшедшей... У меня есть только один преданный человек, который слишком глубоко любит меня и которому я плачу за его чувства ко мне тысячью мелких обид, невниманием, собственной глупостью. Этот человек — доктор. Доктор все для меня сделает, стоит только мне сказать слово, но здесь и доктор бессилен. Я пробовала переломить себя, прикрывалась дурачествами, шутками, смехом и очень рада, что все приняли это за чистую монету.

— Если в число этих всех вы включаете и

меня, это несправедливо, — заметил Лоскутов. — Я несколько раз думал...

— Вы... вы думали обо мне? — с живостью подхватила Зося, глядя на Лоскутова широко раскрытыми глазами.

— Как о всех других людях...

— Именно?

— Думал, что вы иногда желаете серьезно заниматься, может быть, мечтаете приносить пользу другим, а потом все это и соскочит с вас, как с гуся вода... Может быть, я ошибаюсь, Софья Игнатьевна, но вы сами...

— Ах, не то... Меня давят обстановка, богатство...

— И тщеславие...

— И тщеславие... Я не скрываю. Но знаете, кто сознает за собой известные недостатки, тот стоит на полдороге к исправлению. Если бы была такая рука, которая... Ах да, я очень тщеславна! Я преклоняюсь пред силой, я боготворю ее. Сила всегда оригинальна, она дает себя чувствовать во всем. Я желала бы быть рабой именно такой силы, которая выходит из ряду вон, которая не нуждается вот в этой мишуре, — Зося обвела глазами свой костюм

и обстановку комнаты, — ведь такая сила наполнит целую жизнь... она даст счастье.

— Зачем же рабство?

— Рабство... а если мне это нравится? Если это у меня в крови — органическая потребность в таком рабстве? Возьмите то, для чего живет заурядное большинство: все это так жалко и точно выкроено по одной мерке. А стоит ли жить только для того, чтобы прожить, как все другие люди... Вот поэтому-то я и хочу именно рабства потому что всякая сила давит... Больше: я хочу, чтобы меня презирали и... хоть немножечко любили...

— Я все-таки не понимаю вас...

Зося закусила губу и нервно откинула свои белокурые волосы, которые рассыпались у нее по обнаженным плечам роскошной волной: в ее красоте в настоящую минуту было что-то захватывающее, неотразимое, это была именно сила, которая властно притягивала к себе. Нужно было быть Лоскутовым, чтобы не замечать ее волшебных чар.

— Мне иногда хочется умереть... — заговорила Зося тихим, прерывающимся голосом; лицо у нее покрылось розовыми пятнами,

глаза потемнели. — Проходят лучшие молодые годы, а между тем найдется ли хоть одна такая минута, о которой можно было бы вспомнить с удовольствием?.. Все бесцельно и пусто, вечные будни, и ни одной светлой минуты.

Лоскутов принужденно молчал; розовые ноздри Зоси раздулись, грудь тяжело колыхнулась.

— Послушайте... — едва слышно заговорила девушка, опуская глаза. — Положим, есть такая девушка, которая любит вас... а вы считаете ее пустой, светской барышней, ни к чему не годной. Что бы вы ответили ей, если бы она сказала вам прямо в глаза: «Я знаю, что вы меня считаете пустой девушкой, но я готова молиться на вас... я буду счастлива собственным унижением, чтобы только сметь дышать около вас».

— Софья Игнатьевна, если вы говорите все это серьезно... — начал Лоскутов, пробуя встать с дивана, но Зося удержала его за руку. — Мне кажется, что мы не понимаем друг друга и...

— Нет, вы хорошо понимаете, что я хочу

сказать, — задыхавшимся шепотом перебила девушка. — Вы хотите... вы добиваетесь, чтобы я первая сделала признание... Извольте: я люблю вас!

Последнюю фразу Зося почти крикнула и, закрыв лицо руками, покорно ждала смертельного удара.

— Софья Игнатьевна... прежде всего успокойтесь, — тихо заговорил Лоскутов, стараясь осторожно отнять руки от лица. — Поговоримте серьезно... В вас сказалась теперь потребность любви, и вы сами обманываете себя. У вас совершенно ложный идеализированный взгляд на предмет вашей страсти, а затем...

— Казните, казните... только скорее, и не наносите удара из-за угла! Я сказала вам, что я, теперь скажите вы про себя, что вы.

— Я не могу ответить вам тем же, Софья Игнатьевна...

Ляховская глухо застонала и с истерическим смехом опрокинула голову на спинку дивана.

— Вы не можете... Ха-ха!.. И вот единственный человек, которого я уважала... Отчего вы

не скажете мне прямо?.. Ведь я умела же побороть свой девический стыд и первая сказала, что вас люблю... Да... а вы даже не могли отплатить простой откровенностью на мое признание, а спрятались за пустую фразу. Да, я в настоящую минуту в тысячу раз лучше вас!.. Я теперь поняла все... вы любите Надежду Васильевну... Да?

— Да... — проговорил Лоскутов, и тень замешательства скользнула по его лицу.

— Ну, так уходите... ха-ха!.. Нет, вернитесь.

С последними словами Ляховская, как сумасшедшая, обхватила своими белоснежными, чудными руками шею Лоскутова и покрыла безумными поцелуями его лицо.

Бал кипел широкой волной, когда по залам смутно пронеслась первая весть о каком-то происшествии... Дамы зашептались, улыбки сменились серьезным выражением лиц. Кто пустил первую молву? Что случилось? Никто и ничего хорошенько не знал. Видели только, как пробежал побледневший доктор куда-то во внутренние комнаты. Привалов в числе другой публики испытывал общее недоумение и отыскивал знакомых, что-

бы узнать, в чем дело. Когда он проходил по одной из боковых комнат, его догнал Ляховский с искаженным лицом и остановившимся взглядом.

— Ради бога... стакан воды!.. — хрипел старик, не узнавая Привалова. — Умерла, умерла...

— Кто умер, Игнатий Львович? — спросил Привалов, но Ляховский не слыхал вопроса и бежал вперед, схватив себя за волосы.

Бал расстроился, и публика цветной, молчаливой волной поплыла к выходу. Привалов побрел в числе других, отыскивая Надежду Васильевну. На лестнице он догнал Половодову, которая шла одна, подобрав одной рукой трен своего платья.

— Вы не знаете, Антонида Ивановна, что случилось? — спрашивал Привалов.

— Пустяки: Зося упала в обморок... — както нехотя ответила Половодова.

Привалов предложил ей руку и помог спуститься по лестнице; в передней он отыскал шубу, помог ее надеть и напрасно отыскивал глазами Половодова.

— Вы, кажется, кого-то отыскиваете, Сер-

гей Александрыч?

— Да я что-то не вижу Александра Павлыча...

— И не увидите, потому что он теперь ждет наверху, чем кончится обморок Зоси, а меня отпустил одну... Проводите, пожалуйста, меня до моего экипажа, да, кстати, наденьте шубу, а то простудитесь.

Когда к подъезду подкатила с зажженными фонарями карета Половодова и Антонида Ивановна поместилась в нее, Привалов протянул ей руку проститься, но Антонида Ивановна не подала своей, а отодвинувшись в дальний угол кареты, указала глазами на место около себя. Дверцы захлопнулись, и карета, скрипя по снегу полозьями, бойко полетела вдоль по Нагорной улице; Привалов почувствовал, как к нему безмолвно прильнуло красивое женское лицо и теплые пахучие руки обняли его шею. Настала минута опьяняющего, сладкого безумия; она нахлынула на Привалова с захватывающим бешенством, и он потерял голову.

— Когда мы подъедем, ты выйди у подъезда, а потом через полчаса я тебе сама отворю

двери… — шептала Половодова, когда карета катилась мимо бахаревского дома. — Александр домой приедет только утром… У них сегодня в «Магните» будет разливанное море. Тебя, вероятно, приглашали туда?

— Да.

— Ты обещал?

— Да… чтобы отвязаться.

Половодова на минуту задумалась, а потом с ленивой улыбкой проговорила:

— Если тебя Александр спросит, почему ты не приехал в «Магнит», сообщи ему под секретом, что у тебя было назначено rendez-vous [33] с одной замужней женщиной. Ведь он глуп и не догадается…

Часть IV

Глава 56

Тяжелые дни переживались в старом бахаревском доме.

Деньги ушли в тот провал, в котором были похоронены раньше сотни тысяч, а прииски требовали новых денег. Шелехов кутил, не показываясь в бахаревском доме по целым неделям: он теперь пропадал вместе с Виктором Васильичем. Курсы Василия Назарыча в среде узловской денежной братии начали быстро падать, и его векселя, в первый раз в жизни, Узловско-Моховский банк отказался учитывать Василий Назарыч этим не особенно огорчился, но он хорошо видел, откуда был брошен в него камень; этот отказ был произведением Половодова, который по своей натуре способен был наносить удары только из-за угла. Петля затягивалась, и положение с часу на час делалось безвыходнее. Выплыли на свет божий, бог знает откуда, какие-то старые векселя и платежи, о которых старик давно забыл. Приходилось отдавать последние гроши, чтобы поддержать имя в торговом ми-

ре. Пока единственным спасением для Бахарева было то, что наступившая зима вместе с приостановкой работ на приисках дала ему передышку в платежах по текущим счетам; но тем страшнее было наступление весны, когда вместе с весенней водой ключом закипит горячая работа на всех приисках. Где добыть денег к этому времени, чтобы по самому последнему зимнему пути уехать на прииски?

С половины января здоровье Василия Назарыча начало заметно поправляться, так что он с помощью костыля мог бродить по комнатам.

— Теперь вы даже можете съездить куда-нибудь, — предложил доктор. — Моцион необходим для вас...

Это предложение доктора обрадовало Бахарева, как ребенка, которому после долгой ненастной погоды позволили наконец выйти на улицу. С нетерпением всех больных, засидевшихся в четырех стенах, он воспользовался случаем и сейчас же решил ехать к Ляховскому, у которого не был очень давно.

— Папа, удобно ли тебе будет ехать туда? — пробовала отговорить отца Надежда Ва-

сильевна. — Зося все еще больна, и сам Игнатий Львович не выходит из своего кабинета. Я третьего дня была у них...

— Нет, мне необходимо видеть Ляховского, — упорствовал старик и велел Луке подавать одеваться.

Лука, шепча молитвы, помог барину надеть сюртук и потихоньку несколько раз перекрестился про себя. «Уж только бы барину ноги, а тут все будет по-нашему», — соображал старик, в последний раз оглядывая его со всех сторон.

— Ну что, Лука, я сильно похудел? — спрашивал Василий Назарыч, с костылем выходя в переднюю.

— Как будто из лица немного поспали, Василий Назарыч... А так-то еще и молодого, который похуже, затопчете.

Василий Назарыч давно не испытывал такого удовольствия, как сегодня. Его все радовало кругом: и морозный зимний день, и бежавшие пешеходы с красными носами, и легкий ход рысака, и снежная пыль, которой обдало его в одном ухабе. Все заботы и неприятности последнего времени он точно разом

оставил в своем старом доме и теперь только хотел дышать свежим, вольным воздухом, лететь вперед с быстротой ветра, чтобы дух захватывало. «Жаль, что Надю не захватил с собой, — думал старик, когда его щегольские лакированные сани с медвежьей полостью стрелой неслись мимо домика Заплатиной. — Она все сидит дома, бедняжка, а тут хоть прокатилась бы со мной... Как это я позабыл, право!»

В передней Бахарева встретил неизменный Палька, который питал непреодолимую слабость к «настоящим господам». Он помог гостю подняться на лестницу и, пока Бахарев отдыхал на первой площадке, успел сбегать в кабинет с докладом.

— Вот не ожидал!.. — кричал Ляховский навстречу входившему гостю. — Да для меня это праздник... А я, Василий Назарыч, увы!.. — Ляховский только указал глазами на кресло с колесами, в котором сидел. — Совсем развинтился... Уж извините меня, ради бога! Тогда эта болезнь Зоси так меня разбила, что я совсем приготовился отправляться на тот свет, да вот доктор еще придержал немного здесь...

— Я слышал о болезни Софьи Игнатьевны и от души пожалел вас, — говорил Бахарев, пожимая руку Ляховского.

— Да, да... Благодарю вас. Надежда Васильевна не забывает нас... Это — ангел, ангел!.. Я завидую вам, как счастливейшему из отцов...

Ляховский глубоко вздохнул и печально прибавил:

— Вот, Василий Назарыч, наша жизнь: сегодня жив, хлопочешь, заботишься, а завтра тебя унесет волной забвенья... Что такое человек? Прах, пепел... Пахнуло ветерком — и человека не стало вместе со всей его паутиной забот, каверз, расчетов, добрых дел и пустяков!..

Красноречиво и горячо Ляховский развил мысль о ничтожности человеческого существования, коснулся слегка загробной жизни и грядущей ответственности за все свои дела и помышления и с той же легкостью перешел к настоящему, то есть к процессу, которым грозил теперь опеке Веревкин.

— Я не понимаю нынешних молодых людей, — решил Ляховский и сейчас же завел

речь о другом, заметив неприятное впечатление, которое произвел на Бахарева этот разговор об опеке.

Ляховский расходился до того, что даже велел подавать завтрак к себе в кабинет, что уж совсем не было в его привычках. Необыкновенная любезность хозяина тронула Бахарева, хотя вообще он считал Ляховского самым скрытным и фальшивым человеком; ему понравилась даже та форма, в которой Ляховский между слов успел высказать, что ему все известно о положении дел Бахарева.

— Все устроится понемногу, дорогой Василий Назарыч, — успокаивал своего гостя Ляховский. — Главное — здоровье, а наши дела, как погода, — то вёдро, то ненастье.

— Да, именно, меня по рукам и по ногам связывала моя болезнь...

— О, конечно... Все уверены в том, что, будь вы сами на приисках прошлое лето, ничего не произошло бы. Это маленькое испытание... Да! Чем бы сделалась наша жизнь, если бы подобными испытаниями нас не встряхивало постоянно. Просто заплесневели бы, и только. Взять мое положение; вы знаете, как

я люблю Зосю... Ведь она у меня одна, одна, Василий Назарыч!.. И вдруг такой удар... Я думал, что сойду с ума... Скажите, за что такое испытание послано именно мне? Покорился, перенес... и теперь считаю секунды, когда ей сделается лучше... На доктора все надежды!..

— Софье Игнатьевне, как я слышал, лучше?

— Ничего не известно, Василий Назарыч... Решительно ничего! Теперь переживаем самый критический момент: пан или пропал...

Пользуясь хорошим расположением хозяина, Бахарев заметил, что он желал бы переговорить о деле, по которому приехал. При одном слове «дело» Ляховский весь изменился, точно его ударили палкой по голове. Даже жалко было смотреть на него, — так он съежился в своем кресле, так глупо моргал глазами и сделал такое глупое птичье лицо.

— Позвольте, Василий Назарыч, — предупредил Ляховский гостя. — Если вы рассчитываете на мой кредит, — у меня ничего нет в настоящую минуту... Даю вам честное слово!..

— А если я буду просить вас о поручительстве, Игнатий Львович? Именно ваше пору-

чительство спасло бы меня...

— Хорошо... я поручусь за вас, вы получите деньги и закопаете их на своих приисках, — ведь я должен буду платить по моему поручительству?

— Да...

Расставив широко свои костлявые руки и подняв брови, Ляховский глухим шепотом, как трагический актер, проговорил:

— Воля ваша, — не могу... У меня нет свободных капиталов, а все до последней копейки помещено в предприятиях. Тысячу раз извините, дорогой Василий Назарыч, но хоть зарежьте сейчас, — не могу!..

Удар был нанесен так неожиданно, что у Бахарева как-то все завертелось в глазах, и он в смущении потер рукой свою больную ногу.

— Послушайте, Игнатий Львович, — тихо заговорил старик, чувствуя, как вся кровь приливает к нему в голову. — Помните ли вы, как... Я не желаю укорить вас этим, но...

— Василий Назарыч, за кого же вы меня считаете? — умоляюще закричал Ляховский. — Я забыл?! Нет, я слишком хорошо помню, как я явился на Урал беднее церков-

ной мыши и как при вашей помощи я сделал первый крупный шаг. Всем и каждому скажу, что всем обязан именно вам: трудно начало сделать...

— Вы придаете слишком большое значение моей небольшой услуге.

— Нет, уважаемый Василий Назарыч, дорого яичко к Христову дню...

— Отчего же вы отказываетесь помочь мне теперь, когда я, седым, больным стариком, обратился к вашей помощи... Ведь я же доверял вам, когда вы еще ничего не имели!

— Вот в том-то и дело, Василий Назарыч, что вы доверяли мне, и я всегда буду ценить ваше доверие...

— Следовательно, вы не доверяете мне.

Ляховский одно мгновение, казалось, колебался, но это было только одно мгновение, а потом он сухо проговорил:

— Нет, я не могу поручиться за вас...

Бахарев вышел из кабинета Ляховского с красным лицом и горевшими глазами: это было оскорбление, которого он не заслужил и которое должен был перенести. Старик плохо помнил, как он вышел из приваловского до-

ма, сел в сани и приехал домой. Все промелькнуло перед ним, как в тумане, а в голове неотступно стучала одна мысль: «Сережа, Сережа... Разве бы я пошел к этому христопродавцу, если бы не ты!»

Глава 57

В роскошной спальне Зоси Ляховской теперь господствовал тяжелый для глаз полумрак; окна были задрапированы тяжелыми складками зеленой материи, едва пропускавшими в комнату слабый свет. Все Лишние вещи были вынесены. Несмотря на все предосторожности, в спальне пахло лекарствами. В соседней комнате день и ночь дежурили сиделки. Больная лежала на большой кровати черного дерева с серебряными украшениями, под полосатым пологом из восточной шелковой материи. На батистовой подушке едва можно было рассмотреть бледное, тонкое лицо Зоси. Глаза казались еще больше в темных кругах, кончик носа обострился, недавно еще пухлые красивые губы болезненно обтянулись около зубов. Роскошные белокурые волосы были острижены, и девушка походила теперь на мальчика лет пятнадцати с тонким

профилем и точно нарисованными бровями.

— Доктор, как вы думаете — лучше мне?.. — едва слышно спрашивала больная, слабым движением выпрастывая из-под одеяла похудевшую белую, как мрамор, руку.

— Было бы лучше, если бы вы имели побольше терпения, — сухо отвечал доктор, проверяя пульс больной по своим часам.

— О, мне все равно... жить или умереть... Не стоит жить, доктор.

— Об этом мы поговорим с вами, когда вы поправитесь...

Третью неделю проводил доктор у постели больной, переживая шаг за шагом все фазисы болезни. Он сам теперь походил на больного: лицо осунулось, глаза ввалились, кожа потемнела. В течение первых двух недель доктор не спал и трех ночей.

История этой болезни выяснилась для доктора во всех деталях на другой же день после бала, хотя он ни слова не сказал о ней Ляховскому. Вместо железных проволок у Зоси оказались самые бабьи нервы... Переход от девушки к женщине разыгрался катастрофой в тот момент, когда доктор и Ляховский всего

менее ожидали его. Сквозь капризы и чудачества пробилось первое женское чувство, хотя и оно скорее походило на прихоть, чем на серьезное душевное движение. Доктора убивала мысль, что болезнь Зоси обязана своим происхождением не разбитому чувству любящей женской души, а явилась вследствие болезненного самолюбия. Как! Когда все и всё преклонялось пред ней, он, Лоскутов, один отнесся к ней совершенно равнодушно; мало того — он предпочел ей другую... Доктор был глубоко убежден, что Зося совсем не любила Лоскутова и даже не могла его полюбить, а только сама уверила себя в своей любви и шаг за шагом довела себя до рокового объяснения. Даже в бреду имя Лоскутова никогда не произносилось одно, а всегда рядом с именем Надежды Васильевны. Гордость и ревность к сопернице — вот где таились главные корни болезни.

Диагноз болезни был поставлен безошибочно, оставалось только помогать естественному ходу болезненного процесса и устранять причины, которые могли бы создать новые осложнения. Молодая натура стойко выдер-

живала неравную борьбу с приступами болезни, но было несколько таких моментов, что доктор начинал испытывать сомнения относительно счастливого исхода. Были даже собраны два консилиума, но ученый ареопаг не пришел ни к каким новым заключениям. Особенно страшны были две ночи, когда пламя жизни, казалось, готово было совсем потухнуть... Зося металась в страшном бреду и никого не узнавала; доктор сидел у ее изголовья и по секундам отсчитывал ход болезни, как капитан, который ведет свой корабль среди бушующего моря. Он готов был отдать полжизни, чтобы облегчить страдания этого молодого тела, но наука была бессильна подать руку помощи, и оставалось только ждать.

Раз ночью, когда все в доме спало мертвым сном, Зосе сделалось особенно нехорошо. Она металась на своей подушке.

— Доктор, дайте мне вашу руку... — прошептала больная. — Мне будет легче...

Она судорожно ухватилась своей горевшей маленькой рукой за его руку и в таком положении откинулась на подушку; ей казалось, что она медленно проваливается в какую-то

глубокую яму, и только одна рука доктора еще в состоянии удержать ее на поверхности земли.

— Послушайте, доктор, ведь я не умру?.. — шептала Зося, не открывая глаз. — Впрочем, все доктора говорят это своим пациентам... Доктор, я была дурная девушка до сих пор... Я ничего не делала для других... Не дайте мне умереть, и я переменюсь к лучшему. Ах, как мне хочется жить... доктор, доктор!.. Я раньше так легко смотрела на жизнь и людей... Но жизнь так коротка, — как жизнь поденки.

Это был тот кризис, которого с замирающим сердцем ждал доктор три недели. Утром рано, когда Зося заснула в первый раз за все время своей болезни спокойным сном выздоравливающего человека, он, пошатываясь, вошел в кабинет Ляховского.

— Умирает?! — схватившись за голову, спрашивал Ляховский; его испугало серое лицо доктора с помутившимися глазами.

— Нет, спасена...

Ляховский с каким-то детским всхлипыванием припал своим лицом к руке доктора и в порыве признательности покрыл ее поцелуя-

ми; из его глаз слезы так и сыпались, но это были счастливые слезы.

Глава 58

Привалов переживал медовый месяц своего незаконного счастья. Собственно говоря, он плыл по течению, которое с первого момента закружило его и понесло вперед властной пенившейся волной. Когда он ночью вышел из половодовского дома в достопамятный день бала, унося на лице следы безумных поцелуев Антониды Ивановны, совесть проснулась в нем и внутренний голос сказал: «Ведь ты не любишь эту женщину, которая сейчас осыпала тебя своими ласками...»

— Нет, я люблю ее! — старался уверить самого себя Привалов. — Нет, я люблю ее...

На другой день Привалов уже подъезжал к дому Половодова, как вспомнил, что Антонида Ивановна назначила ему свидание у матери. Появление Привалова удивило и обрадовало Агриппину Филипьевну.

Привалову казалось, что она догадывается об истинной причине его визита, и он несколько раз принимался извиняться, что обстоятельства не позволяли ему быть у нее

во второй раз, как он обещал.

Час, который Привалову пришлось провести с глазу на глаз с Агриппиной Филипьевной, показался ему бесконечно длинным, и он хотел уже прощаться, когда в передней послышался торопливый звонок. Привалов вздрогнул и слегка смутился: у него точно что оборвалось внутри... Без сомнения, это была она, это были ее шаги. Антонида Ивановна сделала удивленное лицо, застав Привалова в будуаре maman, лениво протянула ему свою руку и усталым движением опустилась в угол дивана.

— Ты, кажется, очень весело вчера провела время? — спрашивала Агриппина Филипьевна дочь.

— Нет, maman... Если бы не Сергей Александрыч, я бы умерла от скуки, — неохотно ответила Антонида Ивановна, сбоку вскидывая глазами на Привалова. — А вы, Сергей Александрыч, конечно, веселились напропалую... после бала, — уже с улыбкой прибавила она. — Мне Александр что-то рассказывал такое...

— Я удивляюсь, что Александр Павлыч

считает нужным посвящать тебя в такие подробности, — строго заметила Агриппина Филипьевна.

— Что же тут особенного, maman?.. Ведь Сергей Александрыч — свободный человек. Бал расстроился в середине, вот они и отправились его доканчивать...

Половодова еще никогда не была так красива, какой теперь показалась Привалову, и когда Агриппина Филипьевна оставила наконец их вдвоем, он робко подошел к ней, чтобы поцеловать протянутую руку.

— Послушай, — заговорила Антонида Ивановна, когда Привалов прильнул губами к ее шее, — старуха догадалась сразу обо всем... Ты держишься непростительно глупо! Хорошо, что нам нечего опасаться ее. Какое у тебя сегодня глупое лицо.

Этот несколько суровый тон сменился горячим поцелуем, и Половодова едва успела принять свой обычный скучающий и ленивый вид, когда в гостиной послышались приближавшиеся шаги maman. У Привалова потемнело в глазах от прилива счастья, и он готов был расцеловать даже Агриппину Фили-

пьевну. Остальное время визита прошло очень весело. Привалов болтал и смеялся самым беззаботным образом, находясь под обаянием теплого взгляда красивых глаз Антониды Ивановны.

Свидания в первое время происходили в часы службы Половодова в банке. Привалов являлся как раз в то время, когда хозяину нужно было уходить из дому, и он каждый раз упрашивал гостя подождать до его возвращения, чтобы пообедать вместе. Это были счастливые минуты... Антонида Ивановна, проводив мужа, забывала всю свою лень и дурачилась, как институтка.

С каждым днем Привалов все сильней и сильней привязывался к этой загадочной натуре, тянувшей его в свои объятия всеми чарами любви. Антонида Ивановна каждый раз являлась для него точно новой женщиной; она не повторялась ни в своих ласках, ни в порывах страсти, ни в капризах. По выражению ее лица нельзя было угадать, что она думает в настоящую минуту. С самым серьезным лицом она болтала тысячи тех милых глупостей, какие умеют говорить только жен-

щины, чувствующие, что их любят; самые капризы и даже вспышки гнева, как цветами, пересыпались самыми неожиданными проявлениями загоравшейся страсти. Привалов пил день за днем эту сладкую отраву любви, убаюканный кошачьими ласками этой женщины, умевшей безраздельно овладеть его мягкой, податливой душой. Прежней Антониды Ивановны точно не существовало, а была другая женщина, которая, казалось, не знала границ своим желаниям и в опьяняющем чаду своей фантазии безрассудно жгла две жизни.

— Я ничего не требую от тебя... Понимаешь — ничего! — говорила она Привалову. — Любишь — хорошо, разлюбишь — не буду плакать... Впрочем, часто у меня является желание задушить тебя, чтобы ты не доставался другой женщине. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал меня, даже бил... Мне мало твоих ласк и поцелуев, понимаешь? Ведь русскую бабу нужно бить, чтобы она была вполне счастлива!..

Но слишком частые свидания в половодовском доме сделались наконец неудобны. То-

гда Антонида Ивановна решила бывать в Общественном клубе, членом которого Привалов числился уже несколько месяцев, хотя ни разу не был в нем.

Глава 59

Общественный клуб помещался в двухэтажном каменном доме, который выходил на Нагорную улицу, через квартал от старого приваловского дома. В длинной передней, где висели по стенам шубы гостей, посетителей обдавало той трактирной атмосферой, которая насквозь пропитана тепловатым ароматом кухни и табачным дымом. В нижнем этаже Общественного клуба помещалось несколько маленьких комнат, уставленных зелеными ломберными столиками; здесь процветал знаменитый сибирский вист с винтом, героями которого являлись Иван Яковлич, Ломтев и братия. Тут же, вероятно для очищения совести, приткнулись две комнаты — одна бильярдная, а другая — читальня; впрочем, эти две комнаты по большей части оставались пустыми и служили только для некоторых таинственных tete-a-tete, когда писались безденежные векселя, выпрашива-

лись у хорошего человека взаймы деньги, чтобы отыграться; наконец, здесь же, на плетеных венских диванчиках, переводили свой многомятежный дух потерпевшие за зеленым полем полное крушение и отдыхали поклонники Бахуса.

Из передней довольно узкая лестница вела во второй этаж; перила были задрапированы покрытыми пылью олеандрами и еще какой-то зеленью, которая цеплялась своими иглами за бальные шлейфы и трены, точно когтями. В первое свое посещение клуба Привалов долго бродил по комнаткам в нижнем этаже, где за столами сидели большей частью совершенно незнакомые ему люди. Он прислушивался к шуму подъезжавших саней и к сдержанному говору в передней; он слышал женские голоса, шелест платьев и осторожные легкие шаги по лестнице. Скоро из передней потянуло струей самых разнообразных духов, какие употребляет далекая провинция, — пахло даже камфарой, которой на лето были переложены шубы от моли.

Наконец Привалов решил подняться во второй этаж, в царство дам. На лестнице его

встретила Хиония Алексеевна дружеским восклицанием:

— А, наконец-то и вы, Сергей Александрыч!.. Я думала, что вы сегодня не приедете.

— Нет, я уже давно здесь.

— У нас в клубе смешанное общество, — объяснила Хиония Алексеевна по дороге в танцевальный зал, где пиликал очень плохой оркестр самую ветхозаветную польку. — Можно сказать, мы устроились совсем на демократическую ногу; есть здесь приказчики, мелкие чиновники, маленькие купчики, учителя... Но есть и представители нашего beau mond'a горные инженеры, адвокаты, прокурор, золотопромышленники, заводчики, доктора... А какой богатый выбор красивых дам!..

Плохонький зал, переделанный из какой-то оранжереи, был скупо освещен десятком ламп; по стенам висели безобразные гирлянды из еловой хвои, пересыпанной бумажными цветами. Эти гирлянды придавали всему залу похоронный характер. Около стен, на вытертых диванчиках, цветной шпалерой разместились дамы; в глубине, в маленькой эстраде, заменявшей сцену, помещался ор-

кестр; мужчины жались около дверей. Десятка два пар кружились по залу, подымая облако едкой пыли.

Остальное помещение клуба состояло из шести довольно больших комнат, отличавшихся большей роскошью сравнительно с обстановкой нижнего этажа и танцевального зала; в средней руки столичных трактирах можно встретить такую же вычурную мебель, такие же трюмо под орех, выцветшие драпировки на окнах и дверях. Одна комната была отделана в красный цвет, другая — в голубой, третья — в зеленый и т. д. На диванчиках сидели дамы и мужчины, провожавшие Привалова любопытными взглядами.

— Вот эта дама с розой в волосах, — объясняла Заплатина, — переменяет каждый сезон по любовнику, а вот та, в сером платье... Здравствуйте, Пелагея Семеновна!.. Обратите, пожалуйста, внимание на эту девушку: очень богатая невеста и какая красавица, а отец был мясником. И держит себя как хорошо, никак не подумаешь, что из крестьяночек. Да... Отец в лаптях ходил!..

Привалов кое-как отделался от непроше-

ной любезности Хины и остался в буфете, дверь из которого как раз выходила на лестницу, так что можно было видеть всех, входивших в танцевальный зал. С Хиной приходилось быть любезным, потому что она могла пригодиться в будущем.

— Голубчик, Сергей Александрыч!..

Привалов почувствовал, как кто-то обхватил его шею руками и принялся целовать; это был «Моисей», от которого так и разило перегорелой водкой.

— Ах, здравствуй, Виктор Васильич! — обрадовался Привалов. — Я тебя давненько-таки не видал. Где это ты пропадаешь?

«Моисей» с пьяной улыбкой только махнул рукой.

— А ведь старик-то у нас того... — заговорил он грустно, — повихнулся крепко. Да! Мать как-то спрашивала про тебя... А ты, брат, нехорошо делаешь, что забываешь нас... нехорошо! Я тебе прямо скажу, хоть Ты и миллионер. Мне наплевать на твои миллионы... все-таки нехорошо!.. Надя что-то прихварывает, Верочка в молитву ударилась... Я и домой редко заглядываю, потому что у нас с

Данилушкой теперь разливное море... А мне жаль стариков-то, да и сестренок жаль, потому шила в мешке не утаишь, и по городу — шу-шу-шу... «Бахарев разорился!.. Бахарев банкрот!..»

— Да ведь это пустяки, Виктор Васильич. Василий Назарыч поправится.

— Конечно, поправится, черт их всех возьми! — крикнул «Моисей», стуча кулаком по столу. — Разве старик чета вот этой дряни... Вон ходят... Ха-ха!.. Дураки!.. Василий Бахарев пальцем поведет только, так у него из всех щелей золото полезет. Вот только весны дождаться, мы вместе махнем со стариком на прииски и все дело поправим Понял?

— «Моисей», — окликнул Бахарева подошедший Давид Ляховский. — Пойдем... Катька здесь!

— Погоди, вот я поговорю с Привалovым, — упрямился Бахарев. — Ты знаешь Катю Колпакову? Нет? Ну, брат, так ты мух ловишь здесь, в Узле-то... Как канканирует, бестия! Понимаешь, ее сам Иван Яковлич выучил.

— Это неужели та Катя Колпакова? — уди-

вился Привалов.

— А то какая же? Ха-ха!.. Колпаковы одни... Старуха богу молится, а Катенька... Да вон она идет, рыженькая!..

«Моисей» показал на проходившую под руку с каким-то инженером среднего роста девушку с голубыми глазами и прекрасными золотистыми волосами, точно шелковой рамкой окаймлявшими ее бойкое матовое лицо, с легкими веснушками около носа. Она слегка покачивалась на высоких каблуках.

— Софья Игнатьевна, я слышал, поправляется? — обратился Привалов к Давиду.

— Да, кажется... — равнодушно отвечал молодой человек, оседлывая свой длинный нос золотым пенсне. — У нее какая-то мудреная болезнь... «Моисей», да пойдем же, а то этот черт Глазков опять отобьет у нас Катьку.

— Ну, брат, шалишь: у нее сегодня сеанс с Лепешкиным, — уверял «Моисей», направляясь к выходу из буфета; с половины дороги он вернулся к Привалову, долго грозил ему пальцем, ухмыляясь глупейшей пьяной улыбкой и покачивая головой, и, наконец, проговорил: — А ты, брат, Привалов, ничего... Хе-хе!

Нет, не ошибся!.. У этой Тонечки, черт ее возьми, такие амуры!.. А грудь?.. Ну, да тебе это лучше знать...

Этот откровенный намек сначала покоробил Привалова, но потом он успокоился, потому что «Моисей» сболтнул спьяна и завтра же позабудет обо всем.

В ожидании Половодовой Привалов наблюдал публику. В буфете и внизу заседали отцы семейств, коммерсанты, денежные тузы; вверху сновала из комнаты в комнату действующая армия невест, находившаяся под прикрытием маменек, тетушек и просто дам, которые «вывозили» девушек в свет. Хина плавала в этой подвижной улыбавшейся толпе, как щука в воде. Она всех знала, всем умела угодить, улыбнуться, сказать ласковое слово. Маменьки засидевшихся девиц смотрели на Хину со страхом и надеждой, как на судьбу. Репутация Хины была давно упрочена: товар, который потерял всякую надежду на сбыт, в ее ловких руках сходил за настоящий. До десятка молодых дам были обязаны своим супружеским счастьем исключительно ей одной.

По лестнице в это время поднимались Половодовы. Привалов видел, как они остановились в дверях танцевальной залы, где их окружила целая толпа знакомых мужчин и женщин; Антонида Ивановна улыбалась направо и налево, отыскивая глазами Привалова. Когда оркестр заиграл вальс, Половодов сделал несколько туров с женой, потом сдал ее с рук на руки какому-то кавалеру, а сам, вытирая лицо платком, побрел в буфет. Заметив Привалова, он широко расставил свои длинные ноги и поднял в знак удивления плечи.

— И вы!.. — проговорил он наконец. — Мне Тонечка говорила про вас, да я не поверил... Чего вы здесь, однако, сидите, Сергей Александрыч, пойдемте лучше вниз: там встретим много знакомого народа.

— Я приду немного погодя, а теперь пойду здороваться с Антонидой Ивановной, — отвечал Привалов.

— Смотрите не надуйте! — погрозил Половодов пальцем. — А мы могли бы сочинить там премилую партийку... Кстати, вы заметили Колпакову?

— Да, «Моисей» мне показывал ее.

— Не правда ли, львица? А заметили, какой у нее овал лица? — Половодов поцеловал кончики своих пальцев и прибавил точно в свое оправдание:

— Я, собственно, член Благородного собрания, но записался сюда по необходимости: все деловой народ собирается, нельзя...

— А, наконец и вы... — протянула Антонида Ивановна, когда Привалов здоровался с ней. — Проведите меня куда-нибудь, где не так жарко и душно, как здесь...

Она смотрела на Привалова детски-покорным взглядом и, подавая ему руку, тихо спросила:

— Ты на меня не сердишься?

— За что? — удивился Привалов.

Половодова обвела кругом глазами и сделала легкую гримасу.

— Ведь это кабак какой-то... — проговорила она, брезгливо подбирая правой рукой трен платья.

Она прошла в зеленую угловую комнату, где было мало огня и публика не так толкалась прямо под носом. Но едва им удалось пе-

рекинуться несколькими фразами, как показался лакей во фраке и подошел прямо к Привалову.

— Вас, Сергей Александрыч, спрашивают-с, — почтительно доложил он, перебирая в руках салфетку.

— Кто?

— Там, внизу-с... Ваш человек.

Привалов оставил Половодову и сошел вниз, где в передней действительно ждал его Ипат с письмом в руках.

— С кульером... — проговорил он, переминаясь с ноги на ногу. — Я только стал сапоги чистить, а в окно как забарсят... ей-богу!..

Привалов не слушал его и торопливо пробегал письмо, помеченное Шатровским заводом. Это писал Костя. Он получил из Петербурга известие, что дело по опеке затянется надолго, если Привалов лично не явится как можно скорее туда, чтобы сейчас же начать хлопоты в сенате. Бахарев умолял Привалова бросить все в Узле и ехать в Петербург. Это известие бросило Привалова в холодный пот: оно было уж совсем некстати...

— Ну, что? — спросила глазами Антонида

Ивановна, когда Привалов вернулся в свой уголок.

Он подал ей письмо.

— Значит, ты бросишь меня? — упавшим голосом спросила она, опуская глаза и ощипывая одной рукой какую-то оборку на своем платье.

— Тонечка, я не могу оставить это дело... Ты пойми, что от моей поездки будет зависеть участь всех заводов.

Она молчала, не поднимая головы.

— Эта поездка отнимет у меня самое большее месяц времени, — продолжал Привалов, чувствуя, как почва уходила из-под его ног.

— Неправда... Ты не вернешься! — возражала Половодова. — Я это вперед знала... Впрочем, ты знаешь — я тебя ничем не желаю стеснить... Делай так, как лучше тебе, а обо мне, пожалуйста, не заботься. Да и что такое я для тебя, если разобрать...

Антонида Ивановна горько улыбнулась и подняла свои глаза.

— Тонечка, голубчик... Что же мне делать? — взмолился Привалов. — Ну, научи...

— Я не решаюсь советовать тебе, Сергей,

но на твоем месте сделала бы так: в Петербург послала бы Своего поверенного, а сама осталась бы в Узле, чтобы иметь возможность следить и за заводами и за опекунами.

Привалов задумался; совет имел за себя много подкупающих обстоятельств, главное из которых Антонида Ивановна великодушно обошла молчанием, — Именно, к трем причинам, которые требовали присутствия Привалова в Узле, она не прибавила самой себя. Это великодушие и эта покорность победили Привалова.

Глава 60

Nicolas Веревкин согласился ехать в Петербург с большим удовольствием, — раз, затем чтобы добраться наконец до тех злачных мест, где зимуют настоящие матерые раки, а затем — ему хотелось немного встряхнуть свою засидевшуюся в провинциальной глуши натуру.

— А помните, я говорил вам про нить-то? — спрашивал Nicolas Привалова.

— Да, помню...

— Ну, вот она и выходит, значит, эта самая нить...

— Именно?

— А помните моего дядюшку, который приезжал сюда рыбку удить?.. Вот и заклевало...

— Не понимаю решительно ничего.

— И я тоже немного понимаю, но знаете, у нашего брата образуется этакий особенный нюх по части этих нитей... В самом деле, за каким чертом приезжал сюда этот дядюшка? Потом, каким ветром занесло его к Ляховскому, да еще вместе с Половодовым?.. Это, батенька, такая троица получается, что сам черт ногу переломит.

— Мне кажется, что, по французской пословице, вы ищете в супе фортепьянных струн...

— Есть, есть некоторое предчувствие... Ну, да страшен сон, но милостив бог. Мы и дядюшку подтянем. А вы здесь донимайте, главное, Ляховского: дохнуть ему не давайте, и Половодову тоже. С ними нечего церемониться...

Таким образом, Nicolas Веревкин через три дня, закутавшись в оленью доху, летел в Петербург, а Привалов остался в Узле.

Время Привалова теперь делилось между четырьмя пунктами, где он мог встречаться с Антонидой Ивановной: в гостиной Хины, в доме Веревкиных, в клубе и, наконец, в доме Половодова. Посещения гостиной Хины и клуба были делом только печальной необходимости, потому что любовникам больше деваться было некуда; половодовский дом представлял несравненно больше удобств, но там грозила вечная опасность из каждого угла. Зато дом Веревкиных представлял все удобства, каких только можно было пожелать: Иван Яковлич играл эту зиму очень счастливо и поэтому почти совсем не показывался домой, Nicolas уехал, Алла была вполне воспитанная барышня и в качестве таковой смотрела на Привалова совсем невинными глазами, как на друга дома, не больше. Сама Агриппина Филипьевна... Вообще это была самая странная женщина, которую Привалов никак не мог разгадать. Подозревала ли она что-нибудь об отношениях дочери к Привалову, и если подозревала, то как вообще смотрела на связи подобного рода — ничего не было известно, и Агриппина Филипьевна неизменно остава-

лась все той же Агриппиной Филипьевной, какой Привалов видел ее в первый раз. С одной стороны, ему было неловко при мысли, что если она ничего не подозревает и вдруг, в одно прекрасное утро, все раскроется... Привалову вперед делалось совестно, что он ставит эту добрую мать семейства в такое фальшивое положение. С другой стороны, он подозревал, что только благодаря мудрейшей тактике Агриппины Филипьевны все устроилось как-то само собой, и официальные визиты незаметно перешли в посещения друга дома, близкого человека, о котором и в голову никому не придет подумать что-нибудь дурное.

Странно было то, что эти частые посещения Привалова Веревкиных приводили в какое-то бешенство Хионию Алексеевну. Ей казалось, что Агриппина Филипьевна нарочно отбивает у нее жильца, тогда как по всем человеческим и божеским законам он принадлежал ей одной. Между друзьями детства готова была пробежать черная кошка, но Антонида Ивановна с прозорливостью любящей женщины постаралась потушить пожар в самом зародыше. Она несколько раз затащила к

себе Хионию Алексеевну и окружила ее такими любезностями, таким вниманием, так ухаживала за нею, что Хина, несмотря на свою сорокалетнюю опытность, поддалась искушению и растаяла. А когда Антонида Ивановна намекнула ей, что вполне рассчитывает на ее скромность и постарается не остаться у нее в долгу, Хина даже прослезилась от умиления.

— Знаете, Антонида Ивановна, я всегда немножко жалела вас, — тронутым голосом говорила она. — Конечно, Александр Павлыч — муж вам, но я всегда скажу, что он гордец... Да!.. Воображаю, сколько вам приходится терпеть от его гордости.

— Вы ошибаетесь, Хиония Алексеевна, — пробовала спорить Антонида Ивановна. — За Александром есть много других недостатков, но только он не горд...

— Ах, не спорьте, ради бога! Гордец и гордец!.. Такой же гордец, как Бахаревы и Ляховские... Вы слышали: старик Бахарев ездил занимать денег у Ляховского, и тот ему отказал. Да-с! Отказал... Каково это вам покажется?

Откуда Хина могла знать, что Ляховский отказался поручиться за Бахарева, — одному

богу известно. По крайней мере, ни Ляховский, ни Бахарев никому не говорили об этом.

— Буду с вами откровенна, — продолжала расходившаяся Хина, заглядывая в глаза Половодовой. — Ведь я вас знала, mon ange, еще маленькой девочкой и могу позволить себе такую откровенность... Да?

— Говорите...

— Вы никогда не любили своего мужа...

— Но ведь мы, кажется, и не разыгрывали влюбленных?

— Все это так, но человеческое сердце, в особенности женское сердце, Антонида Ивановна... Ах, сколько оно иногда страдает совершенно одиноко, и никто этого не подозревает. А между тем, помните, у Лермонтова:

А годы проходят — все лучшие годы!

Хиония Алексеевна добивалась сделаться поверенной в сердечных делах Антониды Ивановны, но получила вежливый отказ. У Хины вертелся уже на кончике языка роковой намек, что ей известны отношения Поло-

водовой к Привалову, но она вовремя удержалась и осталась очень довольна собой, потому что сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.

«Еще пригодится как-нибудь», — утешала Хина себя, когда ехала от Половодова в самом веселом расположении духа.

Глава 61

Надежда Васильевна после рождества почти все время проводила в своей комнате, откуда показывалась только к обеду, да еще когда ходила в кабинет отца. Комната девушки с двумя окнами выходила в сад и походила на монашескую келью по своей скромной обстановке: обтянутый пестрым ситцем диванчик у одной стены, четыре стула, железная кровать в углу, комод и шкаф с книгами, письменный стол, маленький рабочий столик с швейной машиной — вот и все. Девушка очень любила эту комнатку, потому что могла оставаться в ней одна, сколько ей было угодно. Но чтобы иметь право на такую роскошь, как отдельная комната, Надежде Васильевне пришлось выдержать ту мелкую борьбу, какая вечно кипит под родительскими

кровлями: Марья Степановна и слышать ничего не хотела ни о какой отдельной комнате, потому — для чего девке отдельная комната, какие у ней такие важные дела?.. «В книжку-то читать можно по всем комнатам», — ворчала старая раскольница. Все раскольничьи богатые дома устроены по одному плану: все лучшие комнаты остаются в качестве парадных покоев пустыми, а семья жмется в двух-трех комнатах. У самой есть хоть спальня, а дети обыкновенно перебиваются кое-как.

Отдельная комната для старшей дочери была самым обидным новшеством для Марьи Степановны и, как бельмо, всегда мозолила ей глаза. Она никогда не заглядывала сюда, как и на половину мужа. У Верочки не было своей комнаты, да она и не нуждалась в ней, околачиваясь по всему дому.

За последние три недели Надежда Васильевна слишком много пережила в своей комнате и была несказанно счастлива уже тем, что могла в такую критическую минуту оставаться одна. Она сильно изменилась и похудела; глаза смотрели тревожным взгля-

дом, в движениях чувствовалась усталость. Девушка не могла даже заниматься по-прежнему, и раскрытая книга оставалась недочитанной, начатая работа валилась из рук. Только одна машина все чаще и чаще постукивала далеко за полночь, и Марья Степановна, прислушиваясь к этой ночной работе, не могла надивиться, что за «охота припала девке к шитью...».

Как удивилась бы Марья Степановна, если бы увидела работу дочери: много прибавилось бы бессонных ночей в ее жизни. Торопливо кроились эти маленькие рубашечки-распашонки, детские простынки и весь несложный комплект детского белья; дрожавшая рука выводила неровный шов, и много-много раз облита была вся эта работа горькими девичьими слезами. Сколько страха за неизвестное будущее было пережито за этой работой, сколько тяжелого горя... А вместе с работой крепла и росла решимость идти и сказать отцу все, пока не открылось критическое положение девушки само собой.

«Чего же мне бояться? — тысячу раз задавала себе вопрос Надежда Васильевна. — Я со-

вершеннолетняя и могу располагать собой...»

Иногда в голове девушки мелькала предательская мысль — уйти из отцовского дома потихоньку; но против такого бегства возмущалась ее простая, открытая душа. Зачем еще этот обман, когда и без того днем раньше — днем позже все будет открыто? Лучше уж прямо принять все на свою голову и с спокойной совестью оставить отцовский дом. Несколько раз Надежда Васильевна выходила из своей комнаты с твердой решимостью сейчас же объясниться с отцом, но у нее опускались каждый раз руки, начинали дрожать колени, и она возвращалась опять в свою комнату, чтобы снова переживать свои тайные муки. А сколько было проведено бессонных ночей, сколько пролито слез.

Наконец девушка решилась объясниться с отцом. Она надела простенькое коричневое платье и пошла в кабинет к отцу. По дороге ее встретила Верочка. Надежда Васильевна молча поцеловала сестру и прошла на половину отца; у нее захватило дыхание, когда она взялась за ручку двери.

— Это ты, Надя? — спросил Василий Наза-

рыч, не отнимая головы от какой-то работы.

— Да, я, папа.

— Что это с тобой, ты больна серьезно? — спрашивал Василий Назарыч, ласково целуя дочь. — Ну, садись...

— Нет, я здорова... мне лучше.

Наступила короткая пауза; старик тяжело повернулся в своем кресле: его точно кольнуло какое-то тяжелое предчувствие.

— Что-нибудь случилось, Надя?.. — спросил он, тревожно заглядывая в глаза дочери.

— Ничего особенного не случилось, папа, кроме того, что я пришла к тебе...

Девушка осмотрела кругом комнату, точно заранее прощаясь с дорогими стенами, а потом остановила глаза на отце. Этот пристальный, глубокий взгляд, полный какой-то загадочной решимости, окончательно смутил Василья Назарыча, и он нерешительно потер свое колено.

— Папа, — заговорила Надежда Васильевна, опускаясь на ближайший стул, — я думаю теперь вот о чем... Почему несправедлива к людям природа: одним дает физическую силу, другим физическую слабость... Почему

всякая беда всей своей тяжестью ложится прежде всего на женщину? Почему женщина, устраненная от всякой общественной деятельности, даже у себя дома не имеет своего собственного угла, и ее всегда могут выгнать из дому отец, братья, муж, наконец собственные сыновья? Почему в семье, где только и может жить женщина, с самого рождения она поставлена в неволю? То, что мужчинам прощается как шалость, губит женщину навсегда... Посмотри, какая безграничная разница в положении братьев и сестер в семье... Разве все это справедливо, папа?

— Я что-то не пойму хорошенько тебя сегодня, — проговорил Василий Назарыч. — К чему ты это ведешь?

— А вот к чему, папа...

Надежда Васильевна тяжело перевела дух и как-то испуганно посмотрела на отца, ей стало невыносимо тяжело.

— Положим, в богатом семействе есть сын и дочь, — продолжала она дрогнувшим голосом. — Оба совершеннолетние... Сын встречается с такой девушкой, которая нравится ему и не нравится родителям; дочь встречается с

таким человеком, который нравится ей и которого ненавидят ее родители. У него является ребенок... Как посмотрят на это отец и мать?

— Конечно, не похвалят! Разве хорошо обмануть девушку?

— Нет, слушай дальше... Предположим, что случилось то же с дочерью. Что теперь происходит?.. Сыну родители простят даже в том случае, если он не женится на матери своего ребенка, а просто выбросит ей какое-нибудь обеспечение. Совсем другое дело дочь с ее ребенком... На нее обрушивается все: гнев семьи, презрение общества. То, что для сына является только неприятностью, для дочери вечный позор... Разве это справедливо?

— Мудреную ты мне загадку загадываешь... — изменившимся глухим голосом проговорил Василий Назарыч. — Сын с собой ничего не принесет в отцовский дом, а дочь...

— Это еще хуже, папа: сын бросит своего ребенка в чужую семью и этим подвергает его и его мать всей тяжести ответственности... Дочь, по крайней мере, уже своим по-

зором выкупает часть собственной виды; а сколько она должна перенести чисто физических страданий, сколько забот и трудов, пока ребенок подрастет!.. Почему родители выгонят родную дочь из своего дома, а сына простят?

— Девушки знают, что их ждет, и поэтому должны беречь себя...

— Нет, папа, это несправедливость, ужасная несправедливость...

— Да к чему ты это говоришь-то? — как-то застонал Василий Назарыч, и, взглянув на мертвенную бледность, разлившуюся по лицу дочери, он понял или, вернее, почувствовал всем своим существом страшную истину.

— Эта дочь богатых родителей — я...

— Ты... ты... ты... — бессмысленно залепетал старик; у него в глазах пошли яркие круги, и он застонал.

— Раньше я не решалась сказать тебе всего... Мне было жаль убить тебя своим признанием...

— А себя?!.. Себя... О господи... Боже!.. Себя тебе не жаль!! — неистово закричал старик, с глухими рыданиями хватаясь за свою седую

голову.

— Я не раскаиваюсь, папа...

Бахарев налитыми кровью глазами посмотрел на дочь, вскочил с кресла и хриплым голосом прошептал:

— У меня нет больше дочери. Мне остается позор... Господи!.. Этого еще одного и недоставало!! Нет больше у меня дочери!.. Понимаешь: нет, нет, нет дочери...

— Я это знала... я сейчас ухожу...

— Нет, ты не уйдешь... О господи! Надя, Надя!.. И кто тебя обманул?! Кто?..

— Меня никто не обманывал... — прошептала девушка, закрывая лицо руками; сквозь белые пальцы закапали крупные капли слез.

— Подлец! Честные люди так не делают... Подлец он, подлец... захотел посмеяться над моими седыми волосами... над моей старостью.

— Папа, ты напрасно выходишь из себя; ведь от этого не будет лучше. Если ты хочешь что-нибудь скатать мне на прощанье, поговорим спокойно...

— На прощанье?! Спокойно?! Боже мой... Нет, ты никуда не уйдешь... я живую замурую

тебя в четыре стены, и ты не увидишь света божьего... На прощанье! Хочешь разве, чтобы я тебя проклял на прощанье?.. И прокляну... Будь ты проклята, будьте вы оба прокляты!..

Надежда Васильевна чувствовала, как над ее головою наклонилось искаженное гневом лицо отца, как Сжимались его кулаки, как дрожало все его тело, и покорно ждала, когда он схватит ее и вышвырнет за порог.

— Послушай, папа... я никогда и ни о чем не просила тебя, — заговорила она, и чарующая нежность зазвенела в ее дрожащем голосе. — Мы расстаемся, может быть, навсегда... Еще раз прошу тебя — успокойся...

Этот полный мольбы и нежности голос заставил старика немного опомниться: он так любил слушать Голос своей дочери... Звуки этого голоса унесли его в счастливое прошлое. Ему припомнилось именно теперь, как маленькой девочкой Надя лежала при смерти и как он горько рыдал над ее детской кроваткой. Зачем она не умерла тогда, в ореоле своей детской невинности?.. Потом, когда ей было двенадцать лет, она упала с экипажа и попала под лошадь. Как тогда у него дрогнуло

сердце, когда он увидел побледневшее от страха детское личико и жалко цеплявшиеся за землю ручонки... Колесо готово уже было раздавить маленькое детское тельце, как он с силой, какую дает только отчаяние, одним движением перевернул тяжелый экипаж, и девочка осталась цела и невредима. Зачем не раздавило ее тогда этим колесом, чтобы сохранить честь всего дома и избавить ее от вечного позора?..

Бахарев опустился в свое кресло, и седая голова бессильно упала на грудь; припадок бешенства истощил последние силы, и теперь хлынули бессильные старческие слезы.

— Папа, милый... прости меня! — вскрикнула она, кидаясь на колени перед отцом. Она не испугалась его гнева, но эти слезы отняли у нее последний остаток энергии, и она с детской покорностью припала своей русой головой к отцовской руке. — Папа, папа... Ведь я тебя вижу, может быть, в последний раз! Голубчик, папа, милый папа...

В припадке невыразимой жалости и нежности она целовала полы его платья. В кабинете на минуту воцарилось тяжелое молча-

ние.

— Папа... я ни в чем никогда не обманывала тебя... Я молилась на тебя... И теперь я все та же. Я ничего никому не сделала дурного, кроме тебя.

— Отчего же ты не хотела выйти замуж? Или он не хочет жениться на тебе?..

— Папа, я сама не хочу выходить замуж...

— Почему?

— Если человек, которому я отдала все, хороший человек, то он и так будет любить меня всегда... Если он дурной человек, — мне же лучше: я всегда могу уйти от него, и моих детей никто не смеет отнять от меня!.. Я не хочу лжи, папа... Мне будет тяжело первое время, но потом всё это пройдет. Мы будем жить хорошо, папа... честно жить. Ты увидишь все и простишь меня.

Бахарев молчал. Мертвенная бледность покрыла его лицо, он как-то болезненно выпрямился и молча указал дочери на дверь.

Глава 62

Время от святок до масленицы, а затем и покаянные дни великого поста для Привалова промелькнули как длинный сон, от кото-

рого он не мог проснуться. Волею-неволею он втянулся в жизнь уездного города, в его интересы и злобы дня. Иногда его начинала сосать тихая, безотчетная тоска, и он хандрил по нескольку дней сряду.

— А вы слышали нашу новость? — спросила его в одну из таких тяжелых минут Хина.

— Какую?

— Надежда-то Васильевна ушла.

— Как ушла?

— Да очень просто: взяла да ушла к брату... Весь город об этом говорит. Рассказывают, что тут разыгрался целый роман... Вы ведь знаете Лоскутова? Представьте себе, он давно уже был влюблен в Надежду Васильевну, а Зося Ляховская была влюблена в него... Роман, настоящий роман! Помните тогда этот бал у Ляховского и болезнь Зоси? Мне сразу показалось, что тут что-то кроется, и вот вам разгадка; теперь весь город знает.

— Мало ли что болтают иногда, — заметил Привалов.

— Ну, уж извините, я вам голову отдаю на отсечение, что все это правда до последнего слова. А вы слышали, что Василий Назарыч

уехал в Сибирь? Да... Достал где-то денег и уехал вместе с Шелеховым. Я заезжала к ним на днях: Марья Степановна совсем убита горем, Верочка плачет... Как хотите — скандал на целый город, разоренье на носу, а тут еще дочь-невеста на руках.

Эти известия как-то сразу встряхнули Привалова, и он сейчас же отправился к Бахаревым. Дорогой он старался еще уверить себя, что Хина переврала добрую половину и прибавила от себя; но достаточно было взглянуть на убитую физиономию Луки, чтобы убедиться в печальной истине.

— Улетела наша жар-птица... — прошептал старик, помогая Привалову раздеться в передней; на глазах у него были слезы, руки дрожали. — Василий Назарыч уехал на прииски; уж неделю, почитай. Доедут — не доедут по последнему зимнему пути...

В гостиной, на половине Марьи Степановны, Привалова встретила Верочка. Она встретила его с прежней ледяной холодностью, чего уж, кажется, никак нельзя было ожидать от такой кисейной барышни. Марья Степановна приняла его также холодно и жалова-

лась все время на головную боль.

— А я думала, что ты в Питер уехал, — как-то обидно равнодушно проговорила она. — Костя что-то писал...

Старый бахаревский дом показался Привалову могилой или, вернее, домом, из которого только что вынесли дорогого покойника. О Надежде Васильевне не было сказано ни одного слова, точно она совсем не существовала на свете. Привалов в первый раз почувствовал с болью в сердце, что он чужой в этом старом доме, который он так любил. Проходя по низеньким уютным комнатам, он с каким-то суеверным чувством надеялся встретить здесь Надежду Васильевну, как это бывает после смерти близкого человека.

Старая любовь, как брошенное в землю осенью зерно, долго покрытое слоем зимнего снега, опять проснулась в сердце Привалова... Он сравнил настоящее, каким жил, с теми фантазиями, которые вынашивал в груди каких-нибудь полгода назад. Как все было и глупо и обидно в этом счастливом настоящем... Привалов в первый раз почувствовал нравственную пустоту и тяжесть своего тепереш-

него счастья и сам испугался своих мыслей.

В этом скверном расположении духа, которое переживал Привалов, только первое письмо Веревкина, которое он прислал из Петербурга, несколько утешило его. Nicolas писал, что его подозрения относительно дядюшки действительно оправдались: последний раскинул настоящую паутину и уже готовился запустить свою лапу, как он, то есть Веревкин, явился самым неприятным сюрпризом и сразу расстроил все дело. Веревкин подробно описывал свои хлопоты, официальные и домашние: как он делал визиты к сильным мира сего, как его водили за нос и как он в конце концов добился-таки своего, пуская в ход все свое нахальство, приобретенное долголетней провинциальной практикой. В конце письма стояла приписка, что делом о Шатровских заводах заинтересовалась одна очень влиятельная особа, которая будет иметь большое значение, когда дело пойдет в сенат. «Сначала, — писал Веревкин, — я бродил как впотьмах, но теперь поосмотрелся: везде люди, везде человеки. Даст бог, учиним знатную викторию... А дядюшку смажем по всем правилам искус-

ства: не суйся в калачный ряд с суконным рылом».

Нынешний пост четверги Агриппины Филипьевны заставляли говорить о себе положительно весь город, потому что на них фигурировал Привалов. Многие нарочно приезжали затем только, чтобы взглянуть на этот феномен и порадоваться счастью Агриппины Филипьевны, которая так удивительно удачно пристраивала свою младшую дочь. Что Алла выходит за Привалова — в этом могли сомневаться только завзятые дураки.

Вот на одном из таких четвергов и произошел маленький случай, имевший неисчислимые последствия. Публики было особенно много: адвокаты, инженеры, какой-то заезжий певец, много дам. Привалов, конечно, был тут же, и все видели своими глазами, как он перевертывал страницы нот, когда Алла исполняла свою сонату, Хиония Алексеевна была особенно в ударе и развернулась: французские фразы так и сыпались с ее языка, точно у Нее рот был начинен ими. В своем увлечении Хиония Алексеевна даже не обратила внимания на то, что Агриппина Филипьевна

давно перестала улыбаться и тревожно подняла брови кверху.

В самом разгаре вечера, когда Хиония Алексеевна только что готовилась поднести ко рту ложечку клубничного варенья, Агриппина Филипьевна отозвала ее немного в сторону и вполголоса заметила:

— Хиония Алексеевна, вы бы оставили ваш французский язык...

Хиония Алексеевна в первую минуту подумала, что она ослышалась, и даже улыбнулась начатой еще за Вареньем улыбкой, но вдруг ей все сделалось ясно, ясно, как день... Она задрожала всем телом от нанесенного ей оскорбления и едва могла только спросить:

— То есть как это — мой французский язык?..

— А так... Вы меня ставите в неловкое положение: все смеются над вашим произношением...

— Я?! ставлю вас?! в неловкое положение?!? Все смеются над моим произношением?!? И это говорите мне вы... Агриппина Филипьевна?!?

— Душечка, Хиония Алексеевна, пожалуй-

ста, не сердитесь на меня... — попробовала было подсластить поднесенную пилюлю Агриппина Филипьевна, но было уже поздно: все было кончено!

Я, право, не знаю, как описать, что произошло дальше. В первую минуту Хиония Алексеевна покраснела и гордо выпрямила свой стан; в следующую за этим минуту она вернулась в гостиную, преисполненным собственного достоинства жестом достала свою шаль со стула, на котором только что сидела, и, наконец, не простившись ни с кем, величественно поплыла в переднюю, как смертельно оскорбленная королева, которая великодушно предоставила оскорбителей мукам их собственной совести.

«Мое произношение шокирует Агриппину Филипьевну!» — вот мысль, которая, как капля серной кислоты, жгла мозг Хионии Алексеевны, когда она ехала от Веревкиных до своего домика.

«Она думает, что если Антонида Ивановна сделалась любовницей Привалова, так мне можно делать всевозможные оскорбления», — с логикой оскорбленной женщины

рассуждала далее Хиония Алексеевна, ломая руки от бессильной злости.

«Муж — шулер, сын — дровокат, дочь — содержанка, сама из забвенных рижских немок, которых по тринадцати на дюжину кладут!» — вот общий знаменатель, к которому сводились теперь мысли Хионии Алексеевны относительно фамилии Веревкиных.

Глава 63

Именно после этого разрыва все вошло как-то не по-прежнему между Приваловым и Антонидой Ивановной, начиная с самого места действия, которое сузилось наполовину. Гостиная Хины была теперь закрыта, в клубе показываться было не совсем удобно, чтобы не вызвать озлобленную Хину на какую-нибудь отчаянную выходку. Однако Антонида Ивановна раза два ездила туда, точно затем только, чтобы поддразнить Хину. Половодова теперь играла в опасную игру, и чем больше представлялась опасность, тем сильнее она доставляла ей удовольствие. Это была какая-то бешеная скачка за сильными ощущениями. Для Антониды Ивановны сделалось чем-то вроде потребности ставить Привалова

из одного критического положения в другое. Замечательно было то хладнокровие, с каким она распутывала все затруднения, какие создавала собственными руками. Если Привалов протестовал, это вызывало целую бурю упреков, колкостей и насмешек.

— Ты трус! — несколько раз говорила она ему с вызывающей улыбкой, подталкивая на какую-нибудь рискованную выходку.

Раза два Антонида Ивановна удерживала Привалова до самого утра. Александр Павлыч кутил в «Магните» и возвращался уже засветло, когда Привалов успевал уйти. В третий раз такой случай чуть не разразился катастрофой. Антонида Ивановна предупредила Привалова, что мужа не будет дома всю ночь, и опять задержала его. В середине ночи вдруг послышался шум подъехавшего экипажа и звонок в передней.

— Это Александр!.. — вскрикнула Антонида Ивановна.

Положение Привалова оказалось безвыходным: из передней уже доносился разговор Половодова с лакеем. По тону его голоса и по растягиванию слов можно было заключить,

что он явился навеселе. Привалов стоял посредине комнаты, не зная, что ему делать.

— Что же ты стоишь таким дураком? — шепнула Антонида Ивановна и вытолкнула его в соседнюю комнату. — Сиди здесь... он пьян и скоро заснет, а тогда я тебя успею выпустить.

Пока Половодов шел до спальни, Антонида Ивановна успела уничтожить все следы присутствия постороннего человека в комнате и сделала вид, что спит. Привалов очутился в самом скверном положении, какое только можно себе представить. Он попал на какое-то кресло и сидел на нем, затаив дыхание; кровь прилила в голову, и колени дрожали от волнения. Он слышал, как Половодов нетвердой походкой вошел в спальню, поставил свечу на ночной столик и, не желая тревожить спавшей жены, осторожно начал раздеваться.

— Ты не спишь? — осторожно проговорил Половодов, когда жена открыла глаза.

— Нет, не сплю, как видишь... — сухо отвечала Антонида Ивановна.

— А я, Тонечка, сейчас от Ляховского.

— Оно и видно, что от Ляховского.

— Ей-богу, Тонечка, не лгу!

— Я тебя не заставляю божиться... К чему?

— Ну вот... ты уж и рассердилась... А я тебя люблю.

— Верю... Вероятно, сейчас только из «Магнита»?

— На минуточку действительно заезжал... на одну минуточку, Тонечка. Даже не снимал шубы...

Наступила пауза; Половодов щелкнул пальцами и покрутил с самодовольной улыбкой своей головой...

— А ты у меня умница, Тонечка.

— Merci...

— Нет, серьезно умница... Знаешь новость?.. Ну, да это все равно!.. Хе-хе... Дело-то, пожалуй, и не в этом...

— А в чем?

— Ты сослужила нам золотую службу, Тонечка...

— Какую службу?..

Половодов несколько времени улыбался, а потом заговорил вполголоса.

— Помнишь, я тебя просил устроить так,

чтобы Привалову у нас не было скучно?

— Ну?

— Теперь знаешь, какие слухи по городу ходят... Ха-ха!.. Сегодня мне один дурак довольно прозрачно намекнул... Ей-богу!.. Понимаешь, подозревают тебя в близких отношениях к этому дураку Привалову... Ха-ха... Уж я хохотал-хохотал, когда остался один... Ведь это, голубчик, получается целая пьеса...

— Право, мне надоело слушать твои глупости!

— Нет, не глупости... Ха-ха!.. Нет, какого дурака Привалов-то разыграл... а?.. Ведь он сильно приударил за тобой, — я знаю и не претендую... А как сия история совершилась... Ты помнишь своего-то дядюшку, Оскара Филипыча? Ну, я от него сегодня телеграмму получил...

— Оставь, пожалуйста... Право, мне не интересно слушать про ваши дела. У меня голова болит...

— Нет, ты слушай... Если бы Привалов уехал нынче в Петербург, все бы дело наше вышло швах: и мне, и Ляховскому, и дядюшке — шах и мат был бы. Помнишь, я тебя про-

сил в последний раз во что бы то ни стало отговорить Привалова от такой поездки, даже позволить ему надеяться… Ха-ха!.. Я не интересуюсь, что между вами там было, только он остался здесь, а вместо себя послал Nicolas. Ну, и просолил все дело!

— Ничего не понимаю… Да и ты сам не знаешь, что болтаешь спьяна!

— Нет, знаю, голубчик… Ведь ты умница!.. Nicolas еще может нам пакостить, ну, тогда Другую механику подведем… На выдумки природа торовата!..

Глава 64

Весна вышла дружная; быстро стаяли последние остатки снега, лежавшего по низинам и глубоким оврагам; около воды высыпала первая зеленая травка, и, насколько кругом хватал глаз, все покрылось черными заплатами только что поднятых пашен, перемешанных с желтыми квадратами отдыхавшей земли и зеленевшими озимями. Над пашней давно звенел жаворонок, и в черной земле копались серьезные грачи. Севы шли своим чередом.

Привалов в эту горячую пору успел отде-

лать вчерне свой флигелек в три окна, куда и перешел в начале мая; другую половину флигеля пока занимали Телкин и Нагибин. Работа по мельнице приостановилась, пока не были подысканы новые рабочие. Свободное время, которое теперь оставалось у Привалова, он проводил на полях, присматриваясь к крестьянскому хозяйству на месте.

Однажды в половине мая, когда Привалов, усталый, прибрел с полей в свой флигелек, Нагибин торопливо догнал его и издали еще кричал:

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч... Слышали новость?

— Какую?

— Вечор на Лалетинские воды привезли Ляховского замертво...

— Как так?

— А так!.. Без языка, и правая половина вся отнялась... Этакая беда, подумаешь, стряслась!.. Дочь-то только-только поправились, а тут и сам свернулся... И дохтура с собой привезли, Бориса Григорьича. Вы бы съездили его проведать, Сергей Александрыч!

— Пожалуй... — нерешительно согласился

Привалов. — Мне его давно нужно увидать.

На другой день у приваловского флигелька стояла плетенка, в каких ездят по всему Уралу, заложенная парой костлявых киргизок. На козлах сидел кучером гарчиковский мужик Степан, отбившийся по скудоумию от земли и промышлявший около господ. Когда плетенка, покачиваясь на своих гибких рябиновых дрогах, бойко покатилась по извилистому проселку, мимо бесконечных полей, Привалов в первый раз еще испытывал то блаженное чувство покоя, какому завидовал в других. Ему все нравилось кругом: и вспаханные поля, и всходившие озими, и эта мягкая, как покрытая войлоком, черноземная проселочная дорога, и дружный бег сильных киргизок, и даже широкая заплатанная спина Степана, который смешно дергал локтями в нырках и постоянно поправлял на голове рваную баранью шапчонку. Здоровое чувство охватило Привалова, и он даже пожалел Ляховского. В последний раз он видел его перед масленицей; старик чувствовал себя бодро и строил планы будущего.

— Вот тебе и Лалетинка, — проговорил

Степан, когда плетенка бойко вскатилась на последний пригорок.

Внизу, под пригорком, река Лалетинка делала широкий выгиб, подмывая крутой песчаный берег, поросший молодым сосняком; на широком и низком мысу высыпало около сотни крестьянских изб, точно все они сушились на солнечном пригреве. Издали можно было различить деревянное здание, курзала над железным ключом, длинную веранду, где играла во время лечебного сезона музыка и гуляли больные, длинное и неуклюжее здание номеров для приезжающих больных. По берегу реки, справа, было выстроено до десятка плохоньких ванн, затянутых сверху новой парусиной. Вид на всю деревню был очень красив, хотя курзал еще был пуст, потому что большинство больных собиралось на воды только к концу мая. Когда плетенка подкатилась к подъезду номеров для приезжающих с поднятым флагом на крыше, из окон второго этажа выглянуло на Привалова несколько бледных, болезненных лиц. В числе других выглянул и доктор Хлюдзинский, который заведовал водами. Привалов пробежал глазами

в передней номеров черную доску, где были записаны фамилии жильцов, и остановился; пять номеров подряд были подписаны одной фамилией Ляховского.

— Вам кого-с? — спрашивал коридорный в черном фраке и белом галстуке.

— Доктора Сараева можно видеть?

— Сейчас-с, я доложу...

Коридорный через минуту вернулся в сопровождении самого доктора, который с улыбкой посмотрел на смятый дорожный костюм Привалова и пожал ему руку.

— А я приехал проведать вас, — проговорил Привалов, входя в номер доктора.

В маленькой комнатке, которую доктор занимал в нижнем этаже, царил тот беспорядок, какой привозят с собой все путешественники: в углу стоял полураскрытый чемодан, на стене висело забрызганное дорожной грязью пальто, на окне разложены были хирургические инструменты и стояла раскрытая коробка с табаком. В первое мгновение Привалов едва заметил молодую белокурую девушку с остриженными под гребенку волосами, которая сидела в углу клеенчатого дива-

на. Когда она с улыбкой поклонилась, Привалову показалось, что он где-то видал это худенькое восковое лицо с тонким профилем и большими темными глазами.

— Не узнаете, Сергей Александрыч? — спросил знакомый женский голос.

— Софья Игнатьевна!.. Ужели это вы? — удивился Привалов.

— Как видите... Состарилась, не правда ли?.. Должно быть, хороша, если знакомые не узнают, — говорила Зося, с завистью больного человека рассматривая здоровую фигуру Привалова, который точно внес с собой в комнату струю здорового деревенского воздуха.

— А мы недавно о вас говорили здесь, Сергей Александрыч, — сказал доктор. — Вот Софья Игнатьевна очень интересовалась вашей мельницей.

— Да, да... — с живостью подтвердила девушка слова доктора. — И не одной мельницей, а вообще всем вашим предприятием, о котором, к сожалению, я узнала только из третьих рук.

— Я не знал, Софья Игнатьевна, что вас могла так заинтересовать моя мельница.

— Нет, мы все-таки интересуемся вашей мельницей, — отвечал доктор. — И даже собирались сделать вам визит... Вот только нас задерживает наш больной.

— А мне можно будет видеть Игнатия Львовича? — спросил Привалов. — Я приехал не по делу, а просто навестить больного.

— Папа будет вам очень рад, — ответила Зося за доктора. — Только он ничего не говорит пока, но всех узнает отлично... Ему было немного лучше, но дорога испортила.

Когда доктор вышел из номера, чтобы проведать больного, девушка заговорила:

— Ведь папе совсем было лучше, и он мог уже ходить по комнате с костылями, но тут подвернулся этот Альфонс Богданыч. Вы, вероятно, видали его у нас? Что произошло между ними — не знаю, но с папой вдруг сделался паралич...

— Если вы желаете навестить больного, он будет вам рад, — заявил доктор, появляясь в дверях.

Через два номера по обитой ковром двери Привалов узнал помещение больного. Стены номера и весь пол были покрыты ташкент-

скими коврами; слабая струя света едва пробивалась сквозь драпировки окон, выхватывая из наполнявшего комнату полумрака что-то белое, что лежало на складной американской кровати, как узел вычищенного белья. Воздух был насыщен запахом эфира и какого-то пахучего спирта. Доктор осторожно подвел Привалова к креслу, которое стояло у самой кровати больного, рядом с ночным столиком, заставленным аптечными банками и флаконами. Только теперь Привалов рассмотрел голову больного, обернутую чем-то белым: глаза были полуоткрытые, рот неприятно скошен на сторону. Слабое движение левой руки — вот все, чем больной мог заявить о своем человеческом существовании.

— Папа, как ты себя чувствуешь? — спрашивала девушка, заходя к отцу с другой стороны кровати. — Сергей Александрыч нарочно приехал, чтобы навестить тебя...

Слабое движение руки, жалко опустившейся на одеяло, было ответом, да глаза раскрылись шире, и в них мелькнуло сознание живого человека. Привалов посидел около больного с четверть часа; доктор сделал знак,

что продолжение этого безмолвного визита может утомить больного, и все осторожно вышли из комнаты. Когда Привалов начал прощаться, девушка проговорила:

— Вы куда же? Нет, мы вас оставим обедать... И не думайте отказываться: по-деревенски, без церемоний.

Обед был подан в номере, который заменял приемную и столовую. К обеду явились пани Марина и Давид. Привалов смутился за свой деревенский костюм и пожалел, что согласился остаться обедать. Ляховская отнеслась к гостю с той бессодержательной светской любезностью, которая ничего не говорит. Чтобы попасть в тон этой дамы, Привалову пришлось собрать весь запас своих знаний большого света. Эти трогательные усилия по возможности разделял доктор, и они вдвоем едва тащили на себе тяжесть светского Ига.

— Каким вы богатырем смотрите среди нас, — откровенно заметила Зося, обращаясь к Привалову в середине обеда. — Мы все рядом с вами просто жалки: мама не совсем здорова, Давид как всегда, доктор тоже какой-то

желтый весь, о мне и говорить нечего... Я вчера взглянула на себя в зеркало и даже испугалась: чистая восковая кукла, которая заваляла в магазине.

— Будем, по примеру Сергея Александрыча, надеяться на целебную силу деревенского воздуха, — проговорил доктор.

Привалов вздохнул свободнее, когда наконец обед кончился и он мог распрощаться с этим букетом чающих движения воды.

— Если вы захотите осмотреть мою мельницу, Софья Игнатьевна, — говорил Привалов, прощаясь с девушкой, — я буду очень счастлив.

— Непременно, непременно, Сергей Александрыч, — весело отвечала Зося, встряхивая головой, — мы с доктором прикатим к вам.

Глава 65

Мы должны вернуться назад, к концу апреля, когда Ляховский начинал поправляться и бродил по своему кабинету при помощи костылей. Трехмесячная болезнь принесла с собой много упущений в хозяйстве, и теперь Ляховский старался наверстать даром пропущенное время. Он рано утром поджидал Аль-

фонса Богданыча и вперед закипал гневом по поводу разных щекотливых вопросов, которые засели в его голове со вчерашнего дня.

Наконец дверь скрипнула, и на пороге показался сам Альфонс Богданыч с кипой бумаг в старом портфеле.

— Надеюсь, драгоценное здоровье Игнатия Львовича совсем поправилось? — льстиво заговорил управляющий, с низким поклоном занимая свое обычное место за письменным столом.

— Да, вы можете надеяться... — сухо ответил Ляховский. — Может быть, вы надеялись на кое-что Другое, но богу было угодно поднять меня на ноги... Да! Может быть, кто-нибудь ждал моей смерти, чтобы завладеть моими деньгами, моими имениями... Ну, сознайтесь, Альфонс Богданыч, у вас ведь не дрогнула бы рука обобрать меня? О, по лицу вижу, что не дрогнула бы... Вы бы стащили с меня саван... Я это чувствую!.. Вы бы пустили по миру и пани Марину и Зосю... О-о!.. Прошу вас, не отпирайтесь: совершенно напрасно... Да!

Альфонс Богданыч улыбнулся. Да, улыб-

нулся в первый раз, улыбнулся спокойной улыбкой совсем независимого человека и так же спокойно посмотрел прямо в глаза своему патрону... Ляховский был поражен этой дерзостью своего всенижайшего слуги и готов был разразиться целым потоком проклятий, но Альфонс Богданыч предупредил его одним жестом: он с прежним спокойствием раскрыл свой портфель, порылся в бумагах и достал оттуда свеженькое объявление, отпечатанное на листе почтовой бумаги большого формата.

— Вот... — коротко проговорил он, подавая объявление Ляховскому.

Отнеся бумагу далеко от глаз, Ляховский быстро пробежал глазами объявление, которое гласило: «Торгово-промышленная компания А. Б. Пуцилло-Маляхинского. Компания имеет честь довести до сведения почтеннейшей публики, что она на вновь открытых заводах — винокуренных, кожевенных, свечных и мыловаренных — принимает всевозможные заказы, ручаясь за добросовестное выполнение оных и, в особенности, за их своевременность. Заводы расположены в Западной Сибири, главный склад и контора

компании помещаются в г. Узле, по Соборной улице, в доме А. Б. Пуцилло-Маляхинского». Под объявлением стояла полная подпись: «А. Б. Пуцилло-Маляхинский». Ляховский три раза прочел объявление, почесал себе лоб, заглянул на оборотную сторону бумаги и, наконец, проговорил:

— Не знаю... Совсем не слыхал такой компании!.. Что это за Пуцилло-Маляхинский? Вероятно, какой-нибудь аферист?.. Совсем незнакомая фамилия.

— Может быть, почтеннейшему Игнатию Львовичу угодно будет припомнить эту фамилию? — с прежней улыбкой проговорил Альфонс Богданыч. — Когда-то Игнатий Львович знал эту фамилию.

— Нет, не помню!

— Мой дед по отцу был Пуцилло, а мой дед по матери — Маляхинский, — проговорил Альфонс Богданыч.

Ляховский сделал большие глаза, раскрыл рот и бессильно опустился в свое ободранное кресло, схватившись обеими руками за голову. В этой умной голове теперь колесом вертелась одна мысль:

«Пуцилло-Маляхинский... Пуцилло-Маляхинский... Пуцилло-Маляхинский».

— Вы меня обокрали, Альфонс Богданыч... — прошептал убитым голосом Ляховский. — Каждый гвоздь на ваших заводах мой... Понимаете: вы меня пустили по миру!!

— Нет, зачем же, Игнатий Львович... Я вашего ничего не тронул, а если что имею, то это плоды долголетних сбережений.

— Плоды долголетних сбережений!! Ха-ха! — дико захохотал Ляховский, закидывая голову. — Вернее: плоды долголетнего систематического грабежа...

— Вы ошибаетесь, Игнатий Львович, — невозмутимо продолжал Альфонс Богданыч. — Вы из ничего создали колоссальные богатства в течение нескольких лет. Я не обладаю такими счастливыми способностями и должен был употребить десятки лет для создания собственной компании. Нам, надеюсь, не будет тесно, и мы будем полезны друг другу, если этого, конечно, захотите вы... Все зависит от вас...

— Скажите мне одно, — спрашивал Ляховский, — как вы успели выстроить все эти за-

воды, когда все время находились неотлучно при мне? Кто строил все эти заводы...

— Как кто? По матери у меня остались два племянника Маляхинских, и по отцу у меня три племянника Пуцилло... Молодые люди отлично кончили курс в высших заведениях и постройкой заводов только отплатили мне за то воспитание, которое я дал им.

— У вас пять племянников?!..

— И одна племянница... Очень милая девушка, Игнатий Львович! И какие завидные способности: говорит на трех языках, рисует...

— Довольно, довольно... Верю!..

Ляховский чувствовал, как он проваливается точно в какую-то пропасть. Ведь все дела были на руках у Альфонса Богданыча, он все на свете знал, везде поспевал вовремя, и вдруг Альфонса Богданыча не стало... Кого Ляховский найдет теперь на его место? Вдобавок, он сам не мог работать по-прежнему. Фамилия Пуцилло-Маляхинский придавила Ляховского, как гора. Впереди — медленное разорение...

Вечером с ним сделался удар.

Глава 66

Публика начала съезжаться на воды только к концу мая. Конечно, только половину этой публики составляли настоящие больные, а другая половина ехала просто весело провести время, тем более что летом жизнь в пыльных и душных городах не представляет ничего привлекательного.

— Господа... mesdames, пользуйтесь воздухом! — кричал доктор Хлюдзинский с утра до вечера, торопливо перебегая от одной группы к другой. — От воздуха зависит все, mesdames!.. Посмотрите на Ляховских: отца привезли замертво, дочь была совершенно прозрачная, а теперь Игнатий Львович катается в своем кресле, и Софья Игнатьевна расцвела, как ширазская роза!.. Да, mesdames... А все отчего: Софья Игнатьевна вполне пользуется всеми благами деревенского воздуха, и розы на ее щеках служат лучшим доказательством ее благоразумия.

Как на всех других водах, знакомства здесь сводились с поразительной быстротой, и все общество быстро распалось на свои естественные группы: на аристократию, буржуазию и разночинцев. Конечно, во главе аристо-

кратии стояли Ляховские, а Зося явилась львицей сезона и поэтому заслужила откровенную ненависть всех дам и девиц сезона. В этой ненависти все разнородные элементы соединились в одно сплоченное целое, и когда Зося по вечерам являлась в танцевальном зале курзала, ее встречал целый строй холодных и насмешливых взглядов. Мы должны сказать, что в числе лечившихся дам была и наша уважаемая Хиония Алексеевна: ее высохшее тело требовало тоже отдыха, и она бродила по курзалу с самым меланхолическим видом. Собственно говоря, она ничем не была больна, а только чувствовала потребность немножко рассеяться. Оставаться в Узле, на развалинах погибшей пансионской дружбы, было выше даже ее сил, и она решилась отдохнуть на лоне природы. Но этот отдых продолжался всего один день, а когда Хиония Алексеевна показалась в курзале, она сразу попала в то пестрое течение, в котором барахталась всю свою жизнь. В обособлении членов на группы Хиония Алексеевна, конечно, приняла самое деятельное участие и повела глухую борьбу против аристократических

привилегий, то есть против Зоси Ляховской, за которой больная молодежь ходила толпой. Раньше она занималась «этой девчонкой» только между прочим, а теперь принялась за работу вполне серьезно.

— Нет, я ей покажу, этой девчонке! — решила Хиония Алексеевна, закидывая гордо свою голову. — Она воображает, что если у отца миллионы, так и лучше ее нет на свете...

Началась настоящая травля. Заплатина преследовала Зосю по пятам и наконец добилась того, что та обратила на нее внимание.

— Скажите, пожалуйста, за что ненавидит меня эта дама? — спрашивала Зося доктора Сараева, указывая на Хину. — Она просто както шипит, когда увидит меня... У нее делается такое страшное лицо, что я не шутя начинаю бояться ее. А между тем я решительно ничего ей не сделала.

Доктор только пожал плечами, потому что, в самом деле, какой философ разрешит все тайны дамских симпатий и антипатий? Объяснять Зосе, что Заплатина преследует Зосю за ее богатство и красоту, доктор не решался, предоставляя Зосе своим умом доходить до

корня вещей.

Потом Зосе случилось уловить какую-то саркастическую французскую фразу, произнесенную Хионией Алексеевной.

«О, да она еще говорит по-французски, и довольно порядочно!» — удивилась про себя девушка, оглядываясь на сердитую даму.

Наконец им пришлось заговорить. Сначала они обменялись сухими, почти враждебными фразами, но потом их беседа приняла более мирный характер.

Хина в самых живых красках очертила собравшуюся на воды публику и заставила хохотать свою юную собеседницу до слез; затем последовал ряд портретов общих знакомых в Узле, причем Бахаревым и Веревкиным досталось прежде всего. А когда Заплатина перешла к изображению «гордеца» Половодова, Зося принялась хохотать, как сумасшедшая, и кончила тем, что могла только махать руками.

— Странно, я встречаю в вас первую женщину, с которой нельзя соскучиться, — говорила Зося, все еще продолжая вздрагивать всем телом от душившего ее смеха.

— А я?.. Я задыхаюсь в обществе этих Веревкиных, Бахаревых и Половодовых, — в свою очередь откровенничала Хина. — Разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок?..

Доктор Сараев давно разыскивал Зосю и немало был удивлен, когда нашел ее в обществе Заплатиной с следами слез на глазах.

— До свидания, милейшая Хиония Алексеевна! — проговорила Зося, пожимая руку своей собеседницы. — Не правда ли, мы еще увидимся с вами?

— Я удивляюсь, Зося, вашей неразборчивости в выборе ваших новых знакомых, — строго заметил доктор, когда они шли в номера.

— Ах, если бы вы слышали, как она смешно рассказывает!.. Ха-ха... Ведь это воплощенный яд!.. Нет, это такой редкий экземпляр дамской породы... Она меня просто уморила, доктор.

Хиония Алексеевна владела счастливой способностью выжимать какие угодно обстоятельства в свою пользу. Неожиданное знакомство с Зосей подняло в ее голове целый ворох проектов и планов Теперь Зося была не

просто гордая девчонка, а совмещение всех человеческих достоинств: красоты, ума, доброты, веселья, находчивости, остроумия, а главное — эта девица была настоящая аристократка, до которой далеко всем этим Nadine Бахаревым, Аллам, Аннам Павловнам и tutti quanti.[34] Заплатина упивалась аристократическим происхождением Зоси, как раньше преклонялась пред магической силой приваловских миллионов. Одним словом, Зося являлась в глазах Хионии Алексеевны идеалом молодой девушки.

— У вас, mon ange, каждое мимолетное движение — целая история, — объясняла Хина Зосе ее совершенства. — Даже в самых недостатках сказывается кровь, порода.

А прибавьте к этому еще то, что Зося была единственной наследницей богатств Ляховского! У Заплатиной кружилась даже голова, когда она про себя перечисляла различные статьи этого богатства. Для кого курились винокуренные заводы по всему Зауралью? Для кого паслись в киргизской степи стада баранов, из которых после топили сало, делали мыло и свечи? Для кого работали кожевен-

ные и стеклянные заводы? Для кого совершались миллионные торговые операции? Для кого качались богатейшие урожаи на тысячах десятин, купленных за бесценок?

Заплатина не могла не чувствовать собственного ничтожества рядом с этими дарами фортуны. Чтобы хоть чем-нибудь пополнить свои недостатки, почтенная женщина обратила свое внимание на Привалова, который в ее рассказах являлся какой-то частью ее собственного существования. Как бы удивился сам Привалов, если бы услышал, как Хина распиналась за него пред Зосей Во-первых, он был чем-то вроде тех сказочных принцев, которые сначала являются без королевства, а потом, преодолевая тысячи препятствий, добиваются своих наследственных прав. Хина сумела придать истории наследства Привалова самый заманчивый характер, а его самого наделила такими достоинствами, какие оставались незаметны только благодаря его скромности. Во-вторых, мельница Привалова и его хлебная торговля служили только началом осуществления его гениальных планов, — ведь Привалов был герой и в каче-

стве такового сделает чудеса там, где люди в течение тысячи лет только хлопали ушами. Заплатина тонко намекнула Зосе, что мельница и хлебная торговля служат только прикрытием тех социальных задач, которые взялся осуществлять Привалов. Да, это был социалист и очень опасный человек, хотя никто этого и не подозревает благодаря его тонкой скромности. Новый Привалов, которого Хина создавала слушательнице, увлекал рассказчицу, и она сама начинала верить собственным словам.

— Да, он не походит на других, — задумчиво говорила Зося.

— Конечно!.. Это, mon ange, необыкновенный человек.

— Скажите, он ведь, кажется, был влюблен в Надежду Васильевну? — неожиданно спросила Зося.

Хина немного смутилась в первое мгновение, но сейчас же победоносно вышла из своего затруднительного положения.

— Могу вас уверить, что серьезного ничего не было... Просто были детские воспоминания; затем сама Надежда Васильевна все вре-

мя держала себя с Приваловым как-то уж очень двусмысленно; наконец, старики Бахаревы помешались на мысли непременно иметь Привалова своим зятем. Вот и все!..

Зося снизошла до того, что сделала визит Заплатиной в ее маленькую избушку, где пахло курами и телятами. Заплатина, конечно, постаралась не остаться в долгу и через два дня заявилась в своем лучшем шелковом платье к Ляховским. Все шло отлично, пока Хиония Алексеевна сидела в комнате Зоси, но когда она показалась в столовой, ей пришлось испытать сразу две неприятности. Во-первых, пани Марина приняла Хину с ее французским языком с такой леденящей любезностью, что у той заскребли кошки на сердце; во-вторых, Давид, отлично знавший Хионию Алексеевну по Общественному клубу, позволил себе с ней такие фамильярности, каких она совсем не желала дли первого визита.

Этот визит омрачил счастливое настроение Заплатиной, и она должна была из чувства безопасности прекратить свои дальнейшие посещения Ляховских. Да кроме того, ей совсем не нравилось смотреть на презритель-

ное выражение лица, с которым встретил ее сам Игнатий Львович, хотя ему как больному можно было многое извинить; затем натянутая любезность, с какой обращался к ней доктор, тоже шокировала покорную приличиям света натуру Хионии Алексеевны.

Зося, конечно, относилась к ней хорошо, но она не хотела ронять своего достоинства в глазах этой девушки благодаря неприличному поведению остальных членов семьи.

У Хионии Алексеевны блеснула счастливая мысль.

— Я удивляюсь, mon ange, — говорила она однажды Зосе, — что вам за охота похоронить себя летом в четырех стенах, когда вы имеете полную возможность устроиться совершенно иначе, как восточная царица... Да!..

Зося пила кумыс, который ей привозили башкиры откуда-то из-под Красного Луга. Вот отлично было бы пожить жизнью этих номадов, а для этого стоило только поставить свою палатку около башкирских кошей. Палатку можно устроить на текинский образец: снаружи обить белым войлоком, а внутри убрать все бухарскими коврами. Это будет прелест-

но!.. Можно создать всю обстановку во вкусе кочевников, до последнего гвоздя. А как это будет оригинально! Какие parties de plaisir[35] можно будет там устраивать... Одно удовольствие — провести полтора месяца в такой палатке, буквально на лоне природы, среди диких сынов степей, — одно такое удовольствие чего стоило. Зося расцеловала Хионию Алексеевну и ухватилась обеими руками за оригинальную выдумку.

— Только я прошу вас об одном, — говорила Заплатина, — выдайте, mon ange, все за собственное изобретение... Мне кажется, что ваши предубеждены против меня и могут не согласиться, если узнают, что я подала вам первую мысль.

— Хорошо, но с условием: мы будем жить вместе... Не правда ли?..

Хина поломалась для порядку и в конце концов изъявила свое согласие. Таким образом, ей незачем будет являться с визитами к Ляховским, и она будет иметь совершенно самостоятельное значение. А там — будет что будет...

Проект Зоси был встречен с большим со-

чувствием, особенно доктором, потому что в самом деле чего же лучше: чем бестолково толочься по курзалу, полезнее в тысячу раз получать все блага природы из первых рук.

Немедленно был послан в Троицк, как на ближайший меновой двор, особенный нарочный с поручением приобрести четыре кибитки: одну для Зоси, одну для конюхов, одну для женской прислуги и одну на всякий случай, то есть для гостей. Через неделю нарочный вернулся; немедленно было выбрано место под кибитки, и блестящая затея получила свое реальное осуществление. Место, где раскинулись палатки, было восхитительно: на высоком берегу безымянной речушки, в двух шагах от тенистой березовой рощи; кругом волновалась густая зеленая трава, точно обрызганная миллионами пестрых лесных цветочков. Башкирское кочевье оживляло ландшафт. Около дырявых, ободранных кошей суетилась подвижная полунагая толпа ребят, денно-нощно работали женщины, эти безответные труженицы в духе добрых азиатских нравов, и вечно ничего не делали сами башкиры, попивая кумыс и разъезжая по

окрестностям на своих мохноногих лошадках; по ночам около кошей горели яркие огни, и в тихом воздухе таяла и стыла башкирская монотонная песня, рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей, особенно о знаменитом Салавате. Верстах в десяти, на горизонте, темнели избы деревни Красный Луг. Благодатная Башкирия дышала здесь всеми своими красотами.

Глава 67

Жизнь в кошах быстро восстановила здоровье Зоси. Она все время проводила на воздухе: нарочно были приведены из Узла Тэке и Батырь. Зося любила устраивать длинные прогулки верхом в обществе доктора. Хиония Алексеевна пыталась было принять участие в этих прогулках: однажды она совсем решилась было преодолеть свой институтский страх к оседланной лошади и даже, при помощи Ильи, взобралась на Батыря, но при первой легкой рыси комом, как застреленная птица, свалилась с седла и даже слегка повихнула ногу. Оставалось покориться судьбе и сидеть в коше, пока Зося гарцевала на своем иноходце.

В одну из таких прогулок доктор и Зося подъехали к самым Гарчикам.

— Вон мельница Привалова, — указал доктор на широкий пруд и строившуюся мельницу. — Если хотите, можем сделать визит Сергею Александрычу?

— С удовольствием, — согласилась Зося.

Они нашли Привалова на месте строившейся мельницы. Он вылез откуда-то из нижнего этажа, в плисовой поддевке и шароварах; ситцевая рубашка-косоворотка красиво охватывала его широкую шею. На голове был надвинут какой-то картуз. Когда Зося протянула ему руку, затянутую в серую шведскую перчатку с лакированным раструбом, Привалов с улыбкой отдернул назад свою уже протянутую ладонь.

— Боюсь испортить вам перчатку, Софья Игнатьевна, — добродушно проговорил он, но Зося настояла и пожала его широкую ладонь.

— А мы приехали со специальной целью мешать вам, — смеялась девушка, грациозно перекидывая шлейф своей амазонки через левую руку. — Вы нам покажете все свои подвиги...

Привалов повел гостей показывать мельницу, и Зося в своей амазонке лазила по всем углам мельничного корпуса, внимательно рассматривая все подробности производившихся работ.

В маленьком флигельке на скорую руку устроен был чай. Нагибин собственноручно «наставил» самоварчик и не без эффекта подал его на стол.

За чаем, когда Зося наливала стаканы в качестве хозяйки, доктор не без ловкости навел разговор на земледелие, а потом перешел к хлебной торговле и мельнице. Привалов сначала отделывался общими фразами, но потом разговорился. Ему нравилось, что Зося интересуется его мельницей и с таким вниманием слушает его объяснения. Девушка сделала несколько вопросов, которые показывали, что она относится к делу не с праздным любопытством, а с чистосердечным желанием понять все. Пока Привалов говорил, Зося внимательно рассматривала выражение этого загорелого добродушного лица; открытый взгляд карих глаз, что-то уверенное и спокойное в движениях — произвели сегодня на Зосю то

впечатление, которое было подготовлено рассказами Хины. В глазах Зоси Привалов сегодня действительно был героем, как человек, который резко выдался из среды других.

— Я буду ждать вас, Сергей Александрыч, — говорила Зося на прощанье. — Приезжайте прямо в кош, — это два часа езды от вашей мельницы.

Когда доктор и Зося крупной рысью тронулись по дороге в Красный Луг, Нагибин проговорил:

— Эко, господи, каких лошадей, подумаешь, добудут... И ловко барышня ездит. Смела, нечего говорить!

Этот визит напомнил Привалову о той жизни, от которой он отказался. Зося ему нравилась.

Через три дня Привалов на гнедом киргизе ехал по дороге в Красный Луг. Он нарочно ехал тихо, чтобы полюбоваться развертывавшимися кругом красотами. Овсы нынче взялись необыкновенно дружно; пшеница уже трубилась, выгоняя свою матовую зелень, на которой отдыхал глаз. День был горячий; накаленный воздух переливался прозрачными

волнами; над бесконечными нивами нависла кружившая голову испарина. В траве звонко ковали кузнечики; где-то тянул свою скрипучую песню коростель. Из придорожной травы, покрытой мелкой пылью, то и дело взлетали, как ракеты, маленькие птички и быстро исчезали в воздушном пространстве. На горизонте, со стороны Лалетинских вод, медленно ползло грозовое облачко, и можно было рассмотреть косую полосу дождя, которая орошала нивы; другая сторона неба была залита ослепительным солнечным светом, — глазам было больно смотреть. Привалов думал о том, что как хорошо было бы, если бы дождевая тучка прокатилась над пашнями гарчиковских мужиков; всходы нуждались в дожде, и поп Савел служил уж два молебна; даже поднимали иконы на поля. Эти сельскохозяйственные мысли были, как птицы, вспугнуты неожиданно шарахнувшейся лошадью: под самыми ногами промелькнул большой заяц, легкими прыжками ускакавший в овес.

«Нехороший знак... — вслух подумал Привалов и засмеялся собственному суеверию. —

Зачем я еду?» — подумал он в следующую минуту и даже остановил лошадь.

С пригорка, на котором теперь стоял Привалов, вдали можно было рассмотреть мельничный пруд, а впереди, на берегу речки, дымились башкирские коши... «Если поедешь направо — сам будешь сыт, конь голоден; поедешь налево — конь будет сыт, сам будешь голоден; а если поедешь прямо — не видать тебе ни коня, ни головы», — припомнились Привалову слова сказки, и он поехал прямо на дымок кошей. Лошадь, выгнув свою оленью шею, неслась быстрым ходом; она почуяла пасшийся на траве табун башкирских лошадей и раздувала ноздри.

Подъезжая к пригорку, на котором стоял белый кош Ляховской, Привалов издали заметил какую-то даму, которая смотрела из-под руки на него. «Уж не пани ли Марина?» — подумал Привалов. Каково было его удивление, когда в этой даме он узнал свою милую хозяйку, Хионию Алексеевну. Она даже сделала ему ручкой.

— Какими судьбами, Хиония Алексеевна? — спрашивал Привалов, передавая своего

киргиза подошедшему Илье.

— Ах, не спрашивайте, пожалуйста! — жеманно отвечала Хиония Алексеевна. — Вы знаете мой проклятый характер... После вашего отъезда доктор посоветовал ехать на воды — вот я и отправилась. У меня уж такой характер. А здесь встречаю Софью Игнатьевну... случайно познакомились...

Зося была немного больна и приняла Привалова внутри коша, где можно было сидеть только на низеньких диванчиках, поджав ноги. Хозяйка была занята приручением степного сокола, который сидел перед ней на низенькой деревянной подставке и каждый раз широко раскрывал рот, когда она хотела погладить его по дымчатой спине.

— Видите, какой степняк-недотрога, — говорила Зося, отдергивая руку. — Третий день с ним мучусь... Все руки мне исклевал.

Она показала Привалову свои руки, покрытые шрамами и кровавыми царапинами.

— А вам для чего его приручать? — полюбопытствовал Привалов, с удивлением осматривая окружавшую его обстановку.

— Когда привыкнет, буду вынашивать, а

потом вы примете участие в соколиной охоте, которую мы постараемся устроить в непродолжительном времени. Это очень весело... Мне давно хотелось побывать на такой охоте.

— Да, это будет очень интересно, — согласился Привалов, пробуя погладить сокола.

— Я понимаю именно такую охоту, — говорила Зося. — Это совсем не то, что убивать птицу из-под собаки... Охота с ружьем — бойня. А здесь есть риск, есть опасность.

В своей полувосточной обстановке Зося сегодня была необыкновенно эффектна. Одетая в простенькое летнее платье, она походила на дорогую картину, вставленную в пеструю раму бухарских ковров. Эта смесь европейского с среднеазиатским была оригинальна, и Привалов все время, пока сидел в коше, чувствовал себя не в Европе, а в Азии, в этой чудной стране поэтических грез, волшебных сказок, опьяняющих фантазий и чудных красавиц. Даже эта пестрая смесь выцветших красок на коврах настраивала мысль поэтическим образом.

Хиония Алексеевна в качестве дуэньи держала себя с скромным достоинством и делала

серьезное лицо, когда Зося начинала хохотать. Она быстро дала понять Привалову, что здесь она свой человек.

— А все-таки, знаете, Сергей Александрыч, я иногда страшно скучаю, — говорила Зося, когда Хина вышла из коша. — Вечное безделье, вечная пустота... Ну, скажите, что будет делать такая барышня, как я? Ведь это прозябание, а не жизнь. Так что даже все удовольствия отравлены сознанием собственной ненужности.

— Работу можно найти, если захотеть.

— То есть можно обманывать себя призраком работы: открыть какую-нибудь швейную мастерскую, устроить школу, поступить на курсы... А если я ни первого, ни второго, ни третьего не желаю? Мне нужен такой труд, который бы поглощал меня всю, без которого я не могла бы существовать. Я понимаю политических деятелей, понимаю всех этих борцов за идею. Вот вы, например, сидите на своей мельнице, и никуда вас не тянет, ничто вам не напоминает, что каждый прожитый день — тяжелое обвинение против вас в собственной ничтожности. Знаете, я думала о ва-

ших планах несколько раз... Если бы вы не открыли этой Америки раньше меня, я занялась бы этой хлебной торговлей. Известная цель впереди делает человека счастливым.

— Но ведь вы знаете, что моя Америка открыта не мной и раньше меня?

— Знаю... знаю... Но важно вот что: все убеждены в справедливости известной идеи, создается ряд попыток ее осуществления, но потом идея незаметно глохнет и теряется, вот и важно, чтобы явился именно такой человек, который бы стряхнул с себя все предубеждения и оживил идею. Помните Темир-Ленка,[36] который наблюдал муравья, сорок раз поднимавшегося с зерном в гору и сорок раз свалившегося под гору? Ведь в сорок первый раз он втащил-таки свое зерно.

— Мне кажется, что вы меня не так поняли, Софья Игнатьевна, — заговорил Привалов. — Для осуществления моих планов нужен не один человек, не два, а сотни и тысячи людей. Я глубоко убежден в том, что эта тысяча явится и сделает то, чего мы с вами не успеем или не сумеем.

— Мы с вами?

— Отчего же вам не работать в том же направлении, но совершенно самостоятельно? Все средства в ваших руках.

— А сознание-то своей негодности, которое тянет, точно привязанная к ноге гиря?.. Нет, я сегодня положительно хандрю и, вероятно, успела вам надоесть с своим я.

При посредстве доктора между Зосей и Приваловым завязались полудружеские отношения. Привалов начинал ездить в коши все чаще и чаще; ему нравилось общество Зоси, которая держала себя просто и непринужденно, хотя иногда и капризничала по своему обыкновению. Одним из таких капризов Зоси было непременное желание познакомиться с попом Савелом, о котором она много слышала от Привалова. В одно прекрасное утро Привалов и поп Савел верхами приехали в коши, и Зося осталась в восторге от оригинального попа, который забавлял ее своим ядовитым, озлобленным умом. Странную картину представлял теперь кош Зоси, где на мягком бухарском ковре, поджав ноги, сидел поп Савел, а Зося учила его играть в домино.

— Что же, вы так и думаете пропадать в

сельских попах? — спрашивала Зося своего оригинального гостя.

— Нет... Уйду в монахи!..

— Да-а... — задумчиво протянула Зося. — А пока вы еще не отрешились от нашего грешного мира, завертывайте ко мне вместе с Сергеем Александрычем.

Глава 68

Зося не обманывала Привалова: на нее действительно находили минуты тяжелого сплина, и она по целым часам оставалась неподвижной. Эти припадки тоски очень беспокоили доктора, но что он мог поделать против них?

Однажды, когда Зося в минуту сплина лежала бледная и равнодушная на своей постели, в кош стремглав вбежала Хиония Алексеевна.

— «Гордец» едет... «Гордец»!.. — кричала она, размахивая руками.

— Вероятно, вы ошиблись? — равнодушно спросила девушка.

— Уж извините... Да я «гордеца» за сто верст узнаю: точно вяленая рыба сидит на лошади, и ноги болтаются, как палки.

— Вы куда это, Хиония Алексеевна? — остановила Зося, когда Заплатина направилась к выходу.

— Как куда? Вы думаете, я останусь здесь, чтобы любоваться на вашего «гордеца»?.. Ну, уж извините, этого никогда не будет!.. Я бедная женщина, но я тоже имею свою гордость.

Через минуту в кош вошел Половодов. Он с минуту стоял в дверях, отыскивая глазами сидевшую неподвижно девушку потом подошел к ней, молча поцеловал бледную руку и молча поставил перед ней на маленькую скамеечку большое яйцо из голубого атласа на серебряных ножках.

— Я не ожидал встретить вас такой печальной, Софья Игнатьевна, — проговорил он, опускаясь прямо на пол по-турецки. — Я пришел утешить вас... как ребенка, который обжег палец.

— Благодарю...

Зося подавила серебряную застежку и открыла яйцо: на дне, на белой атласной подушечке, спал, как ребенок, крошечный медвежонок с черным пушистым рыльцем и немного оскаленными мелкими зубами. Де-

вушка тихо вскрикнула от удивления и молча пожала руку Половодова, этого старого неизменного друга, который был всегда одинаков с нею. Его ухаживания не надоедали Зосе, потому что Половодов умел разнообразить свое поведение. Настоящий подарок был chef d'oeuvre'ом его изобретательного ума, и Зося понимала, что никто другой не придумал бы такого сюрприза. Половодов остался очень доволен впечатлением своего подарка, который он обдумывал в течение двух месяцев, когда сидел в Узловско-Моховском банке за кипами разных банковских дел.

— Вы, вероятно, приехали с новостями? — спрашивала Зося, вынимая медвежонка из яйца; он несколько раз сладко зевнул и лениво посмотрел кругом блестевшими синими глазками. — Ах, какой смешной бутуз!!..

Пока Зося дурачилась с медвежонком, который то лизал ей руки, то царапал толстыми лапами, Половодов успел выгрузить весь запас привезенных из Узла новостей, которых было очень немного, как всегда. Если зимой провинция скучает отчаянно, то летом она буквально задыхается от скуки.

— И только? — усталым голосом спрашивала Зося, когда Половодов кончил свое повествование.

— Нет, есть еще... — нерешительно проговорил Половодов. — Только вы сегодня, кажется, не в таком расположении духа, чтобы выслушать меня с надлежащим вниманием.

— Нет, я буду вас слушать, — с капризными нотками в голосе отозвалась Зося; она любила командовать над этим обожателем и часто с истинною женской жестокостью мучила его своими бесчисленными капризами.

— Послушайте, Софья Игнатьевна... — тихо заговорил Половодов, опуская голову. — Я буду говорить с вами как ваш старый, самый лучший друг.

— О нет, что хотите, только, пожалуйста, избавьте меня от вашего дружеского участия!.. — как-то застонала девушка.

— Вы не хотите меня понять, Софья Игнатьевна...

Зося молчала; она слышала, как Половодов нервно хрустнул своими пальцами, — это была одна из его мещанских привычек, о которой в минуту волнения он забывал.

— Вы знаете, Софья Игнатьевна, что я поклоняюсь женщине, — проговорил Половодов с теми задушевными нотками в голосе, какими он умел пользоваться в критическую минуту. — Это мой культ... Но я поклоняюсь женщине не за одну красоту, нет, этого еще мало, а главным образом за то, что женщина — великая сила!.. Посмотрите, каких мы глупостей ни наделаем для любимой женщины!.. Самые трезвые и черствые натуры теряют голову и удивляют мир своими юношескими увлечениями. Помните того французского адвоката, который в каждом процессе спрашивал: «Где женщина?» Ведь это великая истина, которая так же справедлива, как то, что мы все родимся от женщины. Если бы дело шло о сравнениях, я сравнил бы влияние женщины с той скрытой теплотой, которая, по учению физики, спаивает малейшие атомы материи и двигает мирами...

Зося молчала.

— Я знаю вас, Софья Игнатьевна, с детства, и вы знаете, что я с детства люблю вас, — глухо продолжал Половодов, еще ниже опуская свою голову. — Вы царапали меня, как коте-

нок, но если бы вы били меня хлыстом, — я целовал бы ту руку, которая поднимала на меня хлыст. Для меня вы — идеал женской красоты... и, кроме того, вы очень умны... и энергичны. Конечно, всякий может увлекаться, всякий — неизбежная жертва ошибок, но когда почва уходит из-под ваших ног, когда все кругом начинает колебаться, человека спасает вера. Именно так я всегда веровал в вас.

— Вы делаете такое странное вступление, точно меня сейчас по меньшей мере повесят, — нетерпеливо проговорила она. — Не делайте из меня жертву ваших ораторских приемов...

— Хорошо, я постараюсь быть кратким, — сухо ответил Половодов, делая бесстрастное лицо. — Знаете ли вы, Софья Игнатьевна, что вы накануне разорения? Нет? И понятно, потому что этого не подозревает и сам Игнатий Львович... Этот Пуцилло-Маляхинский так запутал все дела Игнатия Львовича...

— Какой Пуцилло-Маляхинский? Ах да, я все забываю: Альфонс Богданыч... Так бы и говорили!

— В том-то и дело, что Альфонса Богданыча нет больше, а есть Пуцилло-Маляхинский, который, как мертвый гриб, вырос на развалинах вашего богатства. Я говорил с вашим новым управляющим и сам просматривал конторские отчеты и сметы: все дела запущены до безобразия, и в случае ликвидации дай бог свести концы с концами. Конечно, за Игнатия Львовича стоит его собственное имя, но вы представьте себе такой случай, что после первого параличного удара последует второй... В торговом мире богатство — это мыльный пузырь, который разлетается мгновенно радужными брызгами. Ведь разорился же старик Бахарев, разорились многие другие от самых ничтожных причин.

— Все это хорошо и очень убедительно, но я не понимаю одного: при чем тут именно я?

— Позвольте... Вы ведь знаете про приваловскую опеку и слышали, что Nicolas начал в Петербурге против нас, опекунов, процесс? Хорошо. Дело это крайне запутанное, так что мы останемся в ответе за все упущения, которые были наделаны по опеке в течение двадцати лет. У нас была надежда... но она лоп-

нула. Теперь предстоит скандальный процесс, который может кончиться обвинением в мошенничестве, то есть ссылкой не в столь отдаленные места Сибири. Подумайте, как будет ваш полубольной отец фигурировать на скамье подсудимых... Ему не перенести такого позора, и если он не умрет до суда, то умрет во время самого суда.

— Следовательно, вы думаете, что какими-то путями я могу спасти вас?

— О нет... тысячу раз нет, Софья Игнатьевна!.. — горячо заговорил Половодов. — Я говорю о вашем отце, а не о себе... Я не лев, а вы не мышь, которая будет разгрызать опутавшую льва сеть. Дело идет о вашем отце и о вас, а я остаюсь в стороне. Вы любите отца, а он, по старческому упрямству, всех тащит в пропасть вместе с собой. Еще раз повторяю, я не думаю о себе, но от вас вполне зависит спасти вашего отца и себя...

— Именно? — как-то равнодушно проговорила Зося.

— Гм... — замялся немного Половодов потом нетвердым голосом проговорил: — Выходите за этого Привалова...

Зося несколько мгновений молчала, а потом, взглянув в глаза Половодову, тихо проговорила:

— А если я... люблю этого Привалова, которого вы считаете дураком?

— Тем лучше для вас... — машинально ответил Половодов, не веря собственным ушам.

Часть V

Глава 69

Старый приваловский дом в Узле переделывался заново. Поправляли обвалившуюся штукатурку, красили крышу, вставляли новые рамы в окнах, отовсюду убирали завалявшийся старый хлам, даже не оставили в покое дедовского сада, в котором производилась самая энергичная реставрация развалившихся беседок, киосков, мостиков и запущенных аллей. Внутри дома стоял дым коромыслом: перестилали полы, меняли паркет, подновляли живопись на потолках и стенах, оклеивали стены новыми обоями... Сотни рабочих с утра до ночи суетились по дому, как муравьи, наполняя старые приваловские стены веселым трудовым шумом. Были выписаны ма-

стера-специалисты из Петербурга и Варшавы; оттуда же партиями получалась дорогая мебель, обои, драпировки, ковры, бронза, экипажи и тысячи других предметов, необходимых в обиходе богатого барского дома. Работа шла с лихорадочной поспешностью, чтобы все окончить к октябрю, когда Ляховские вернутся из своего башкирского имения.

Читатель, конечно, уже догадался, что вся эта перестройка делалась по случаю выхода замуж Зоси за Привалова. Да, эта свадьба была злобой дня в Узле, и все о ней говорили как о выдающемся явлении. Сам Привалов появлялся в Узле только наездом, чтобы проверить работы и поторопить подрядчиков, а затем снова исчезал. Все планы и рисунки, по которым производились работы, представлялись на рассмотрение Зоси; она внимательно разбирала их и в трудных случаях советовалась с Хионией Алексеевной или Половодовым, который теперь был своим человеком у Ляховских. Привалов сначала сильно косился на него, но Зося ничего не хотела слышать о каких-нибудь уступках, и Привалову ничего не оставалось, как только покориться. Впро-

чем, Половодов и сам, сознавая свое фальшивое положение, старался по возможности совсем не встречаться с Приваловым. Зося от души смеялась над этой взаимной ненавистью и уверяла Привалова, что он полюбит несравненного Александра Павлыча, когда ближе познакомится с его редкими качествами.

— Я не понимаю, Зося, что у тебя за пристрастие к этому... невозможному человеку, чтобы не сказать больше, — говорил иногда Привалов, пользуясь подвернувшейся минутой раздумья. — Это какая-то болезнь...

— Ах, боже мой! Как ты не можешь понять такой простой вещи! Александр Павлыч такой забавный, а я люблю все смешное, — беззаботно отвечала Зося. — Вот и Хину люблю тоже за это... Ну, что может быть забавнее, когда их сведешь вместе?.. Впрочем, если ты ревнуешь меня к Половодову, то я тебе сказала раз и навсегда...

— Не буду, ничего не буду говорить, делай как хочешь, я знаю только то, что люблю тебя.

— Пока это не особенно заметно... Ты, по-

видимому, больше занят своим, а не моим счастьем, и если что делаешь якобы для меня, все это в сущности приятно больше тебе. Ведь ты порядочный эгоист, если разобрать, потому что не хочешь никак помириться даже с такими моими капризами, как Хина или Александр Павлыч... Я очень немного требую от тебя: не трогай только моих друзей, которые все наперечет: кречет Салават, медвежонок Шайтан, Тэке и Батырь и, наконец, Хина с Александром Павлычем... Кажется, с этим можно было бы помириться?

Эти маленькие семейные сцены выкупались вполне счастливыми минутами, когда Зося являлась совсем в другом свете. Привалов был глубоко убежден, что он шаг за шагом переработает ее. Прежде всего, во что бы то ни стало, нужно изолировать ее от влияния таких сомнительных личностей, как Половодов, Хина, «Моисей» и т. д. Что это возможно, — ручательством служило собственное сознание Зоси, когда на нее находили минуты раскаяния. Доктор был того же мнения; все то, что было неприятного и резкого в Зосе-девушке, должно исчезнуть в Зосе-женщи-

не. Ведь это такая податливая натура, с такими хорошими задатками! Как, например, горячо отнеслась Зося к приваловской мельнице, потом сама предполагала открыть несколько профессиональных школ и т. д. В ней постоянно сказывалась практическая отцовская жилка, и Привалов часто советовался с ней в трудных случаях.

— Я радуюсь только одному, — со слезами на глазах говорил Привалову доктор, когда узнал о его свадьбе, — именно, что выбор Зоси пал на вас... Лучшего для нее я ничего не желаю; под вашим влиянием совсем сгладятся ее недостатки. Я в этом глубоко убежден, Сергей Александрыч...

Доктор считал Привалова немного бесхарактерным человеком, но этот его недостаток, в его глазах, выкупался его искренней, гуманной и глубоко честной натурой. Именно такой человек и нужен был Зосе, чтобы уравновесить резкости ее характера, природную злость и наклонность к самовольству. Сама Зося говорила доктору в припадке откровенности то же самое, каялась в своих недостатках и уверяла, что исправится, сделавшись m-

me Приваловой.

Ляховский встретил известие о выходе Зоси замуж за Привалова с поразившим всех спокойствием, даже больше, почти совсем безучастно. Старик только что успел оправиться от своей болезни и бродил по водам при помощи костылей; болезнь сильно повлияла на его душевный склад и точно придавила в нем прежнюю энергию духа. Одним словом, в прежнем Ляховском чего-то недоставало.

— Так ты решила выйти за Привалова? — в раздумье спрашивал старик, не глядя на дочь.

— Да, папа.

— Что же, он очень хороший человек?

— Кажется... Мне кажется странным такой вопрос, папа, ведь ты знаешь Сергея Александрыча не меньше моего!

— А что доктор говорит?

— Право, папа, ты сегодня предлагаешь такие странные вопросы; доктор, конечно, хороший человек, я его всегда уважала, но в таком вопросе он является все-таки чужим человеком... О таких вещах, папа, с посторонними

как-то не принято советоваться.

— Твоя правда, твоя правда, Зося... У меня, знаешь, в голове что-то еще не совсем... сам чувствую, что недостает какого-то винтика.

— Если ты хочешь знать, доктор отнесся к моему выбору с большим сочувствием. Он даже заплакал от радости...

— Доктор заплакал? — задумчиво спрашивал Ляховский, как-то равнодушно глядя на дочь. — Да, да... Он всегда тебя любил... очень любил.

К Привалову старик отнесся с какой-то скрытой иронией, почти враждебно, хотя прослезился и поцеловал его.

— Знаете ли, Сергей Александрыч, что вы у меня разом берете все? Нет, гораздо больше, последнее, — как-то печально бормотал Ляховский, сидя в кресле. — Если бы мне сказали об этом месяц назад, я ни за что не поверил бы. Извините за откровенность, но такая комбинация как-то совсем не входила в мои расчеты. Нужно быть отцом, и таким отцом, каким был для Зоси я, чтобы понять мой, может быть, несколько странный тон с вами... Да, да. Скажите только одно: действительно

ли вы любите мою Зосю?

— Да, Игнатий Львович...

— Ах, да, конечно! Разве ее можно не любить? Я хотел совсем другое сказать: надеетесь ли вы... обдумали ли вы основательно, что сделаете ее счастливой и сами будете счастливы с ней. Конечно, всякий брак — лотерея, но иногда полезно воздержаться от риска... Я верю вам, то есть хочу верить, и простите отцу... не могу! Это выше моих сил... Вы говорили с доктором? Да, да. Он одобряет выбор Зоси, потому что любит вас. Я тоже люблю доктора...

Разобраться в этом странном наборе фраз было крайне трудно, и Привалов чувствовал себя очень тяжело, если бы доктор не облегчал эту трудную задачу своим участием. Какой это был замечательно хороший человек! С каким ангельским терпением выслушивал он влюбленный бред Привалова. Это был настоящий друг, который являлся лучшим посредником во всех недоразумениях и маленьких размолвках.

— Если бы не доктор, мы давно рассорились бы с тобой, — говорила Привалову Зо-

ся. — И прескучная, должно быть, эта милая обязанность улаживать в качестве друга дома разные семейные дрязги!..

Молодые люди шутили и смеялись, а доктор улыбался своей докторской улыбкой и нервно потирал руки. В последнее время он часто начинал жаловаться на головные боли и запирался в своем номере по целым дням.

Пани Марина и Давид отнеслись к решению Зоси с тем родственным участием, которое отлично скрывает истинный ход мыслей и чувств. По крайней мере, Привалов гораздо лучше чувствовал себя в обществе Игнатия Львовича, чем в гостиной пани Марины. Что касается Давида, то он был слишком занят своими собственными делами. В течение последней зимы он особенно близко сошелся с Половодовым и, как ходила молва, проигрывал по различным игорным притонам крупные куши. На Лалетинских водах быстро образовался свой карточный кружок, где Давид под руководством Александра Павлыча проводил время очень весело, как и следует представителю настоящей jeunesse doree.

Всех довольнее предстоящей свадьбой, ко-

нечно, была Хиония Алексеевна. Она по нескольку раз в день принималась плакать от радости и всех уверяла, что давно не только все предвидела, но даже предчувствовала. Ведь Сергей Александрыч такой прекрасный молодой человек и такой богатый, а Зося такая удивительная красавица — одним словом, не оставалось никакого сомнения, что эти молодые люди предусмотрительной природой специально были созданы друг для друга.

— Я всегда верила в провидение! — патетически восклицала Хиония Алексеевна, воздевая руки кверху. — Когда Сергей Александрыч только что приехал в Узел, я прямо подумала: вот жених Зосе...

Для Привалова его настоящее превращалось в какой-то волшебный сон, полный сладких грез и застилавшего глаза тумана. Сквозь всю окружавшую его суету и мелькавшие кругом его лица он видел только одну Зосю, эту маленькую царицу, дарившую его бесконечным счастьем. Иногда он со страхом смотрел в темные глаза любимой девушке, точно стараясь разгадать по ним будущее. Зося, ко-

нечно, любила его. Он это видел, чувствовал. Но она любила совсем не так, как любят другие женщины: в ее чувстве не было и тени самопожертвования, желания отдать себя в чужие руки, — нет, это была гордая любовь, одним взглядом покорявшая все кругом. Зося была всегда одинакова и всегда оставалась маленькой царицей, которая требовала поклонения. В самых ласках и словах любви у нее звучала гордая нотка; в сдержанности, с какой она позволяла ласкать себя, чувствовалось что-то совершенно особенное, чем Зося отличалась от всех других женщин.

Иногда Привалов начинал сомневаться в своем счастье и даже точно пугался его. Оно было так необъятно, такой властной силой окрыляло его душу, точно поднимало над землей, где недоставало воздуху и делалось тесно. Как он раньше мог жить, не чувствуя ничего подобного? Но это нищенское существование кончилось, и впереди бесконечной перспективой расстилалась розовая даль, кружившая голову своей необъятностью. Неужели эта маленькая гордая головка думала о нем, о Привалове? А эти чудные глаза, ко-

торые смотрели прямо в душу... Нет, он был слишком счастлив, чтобы анализировать настоящее, и принимал его как совершившийся факт, как первую страничку открывшейся перед ним книги любви.

Глава 70

Когда Нагибин привез из города известие, что и дом и все в доме готово, в Гарчиках, в деревенской церкви, совершился самый скромный обряд венчания. Свидетелями были доктор, Нагибин и Телкин; со стороны невесты провожала всего одна Хиония Алексеевна. Зося была спокойна, хотя и бледнее обыкновенного; Привалов испытывал самое подавленное состояние духа. Он никогда не чувствовал себя так далеко от своей Зоси, как в тот момент, когда она пред священником подтверждала свою любовь к нему. «Она такая красавица... Она не может меня любить», — с тоской думал он, держа в своей руке ее холодную маленькую руку. Прямо из церкви молодые отправились в Узел, где их ожидала на первый раз скромная семейная встреча: сам Ляховский, пани Марина и т. д. Старик расчувствовался и жалко заморгал

глазами, когда начал благословлять дочь; пани Марина выдержала характер и осталась прежней королевой. Из посторонних на последовавшем затем ужине присутствовали только такие близкие люди, как Половодов, Виктор Васильич и Хиония Алексеевна. В десять часов вечера все разъехались по домам.

Половодов вернулся домой в десять часов вечера, и, когда раздевался в передней, Семен подал ему полученную без него телеграмму. Пробежав несколько строк, Половодов глухо застонал и бросился в ближайшее кресло: полученное известие поразило его, как удар грома и он несколько минут сидел в своем кресле с закрытыми глазами, как ошеломленная птица. Телеграмма была от Оскара Филипыча, который извещал, что их дело выиграно и что Веревкин остался с носом.

«Несколькими часами раньше получить бы эту телеграмму, — и тогда этого ничего бы не было...» — стонал Половодов, хватаясь за голову.

В голове у него все кружилось; кровь прилила к сердцу, и он чувствовал, что начинает сходить с ума Эти стены давили его, в глазах

пестрели красные и синие петухи, глухое бешенство заставляло скрежетать зубами. Он плохо помнил, как выскочил на улицу, схватил первого попавшегося извозчика и велел ехать в Нагорную улицу. От клуба он пошел к приваловскому дому пешком; падал мягкий пушистый снег, скрадывавший шум шагов. Половодов чувствовал, как тяжело билось его сердце в груди. Вот и площадь, на которую выходил дом своим фасадом; огни были погашены, и дом выделялся темной глыбой при мигавшем пламени уличных фонарей.

— О, дурак, дурак... дурак!.. — стонал Половодов, бродя, как волк, под окнами приваловского дома. — Если бы двумя часами раньше получить телеграмму, тогда можно было расстроить эту дурацкую свадьбу, которую я сам создавал своими собственными руками. О, дурак, дурак, дурак!..

В груди у Половодова точно что жгло, язык пересох, снег попадал ему за раскрытый воротник шубы, но он ничего не чувствовал, кроме глухого отчаяния, которое придавило его как камень. Вот на каланче пробило двенадцать часов... Нужно было куда-нибудь ид-

ти; но куда?.. К своему очагу, в «Магнит»? Пошатываясь, Половодов, как пьяный, побрел вниз по Нагорной улице. Огни в домах везде были потушены; глухая осенняя ночь точно проглотила весь город. Только в одном месте светил огонек... Половодов узнал дом Заплатиной.

В разгоряченном мозгу Половодова мелькнула взбалмошная мысль, и он решительно позвонил у подъезда заплатинского дома. Виктор Николаич был уже в постели и готовился засыпать, перебирая в уме последние политические известия; и полураздетая Хиония Алексеевна сидела одна в столовой и потягивала херес.

— Кого там принесло? — сердито заворчала она, когда раздался звонок. — Матрешка, не принимай... Здесь не родильный дом, чтобы врываться во всякое время дня и ночи...

Матрешка отправилась в переднюю и вернулась с визитной карточкой. Хина пробежала фамилию Половодова и остолбенела.

— Они пешком, надо полагать, пришли... — шепотом докладывала Матрешка, вытирая нос кулаком.

— Проведи в гостиную и попроси подождать, — сказала Хина, стараясь перед зеркалом принять более человеческий вид.

Конечно, в голове Хины сразу блеснула мысль, что, вероятно, случилось что-нибудь неладное. Она величественно вошла в гостиную и в вопросительной позе остановилась перед гостем, который торопливо поднялся к ней навстречу.

— Извините, если я потревожил вас, Хиония Алексеевна, — извинился он, глядя на хозяйку какими-то мутными глазами. — Я час назад получил очень важную телеграмму... чрезвычайно важную, Хиония Алексеевна! Если бы вы взялись передать ее Софье Игнатьевне.

— С удовольствием...

— Нужно передать немедленно... сейчас...

— Вы с ума сошли, Александр Павлыч?!..

— Хиония Алексеевна... ради бога... Хотите, я вас на коленях буду просить об этом!

— Садитесь, пожалуйста... — пригласила Хина своего гостя, который бессильно опустился в кресло около стола.

— Каждая минута дорога... каждое мгнове-

ние!.. — задыхавшимся шепотом говорил Половодов, ломая руки.

— Я удивляюсь вам, Александр Павлыч... Если бы вы мне предложили горы золота, и тогда ваша просьба осталась бы неисполненной. Существуют такие моменты, когда чужой дом — святыня, и никто не имеет права нарушать его священные покои.

Слова Хины резали сердце Половодова ножом, и он тяжело стиснул зубы. У него мелькнула даже мысль — бежать сейчас же и запалить эту «святыню» с четырех концов.

— Воды я могу у вас попросить? — спросил он после долгой паузы.

— Не хотите ли вина? — предложила Заплатана; «гордец» был так жалок в настоящую минуту, что в ее сердце шевельнулось что-то вроде сострадания к нему.

— Вина!.. — повторил Половодов, не понимая вопроса. — Ах да. Пожалуйста, если это не затруднит вас.

— Нет... Вы слишком взволнованы, а вино успокаивает.

Через пять минут на столе стояла свежая бутылка хереса, и Половодов как-то маши-

нально проглотил первую рюмку.

— У вас отличное вино... — проговорил он, пережевывая губами. — Да, очень хорошее.

— Так себе... — скромничала Хина, наливая рюмку себе.

Несколько минут в гостиной Хионии Алексеевны стояло тяжелое молчание. Половодов пил вино рюмку за рюмкой и заметно хмелел; на щеках у него выступили красные пятна.

— Так, по-вашему, все кончено? — как-то глухо проговорил он, поднимая свои бесцветные глаза на хозяйку.

— Все кончено...

— А вы знаете, о чем я говорю?

— Да. Если бы вы получили вашу телеграмму несколькими часами раньше, тогда... иногда невестам делается дурно перед самым венцом, свадьба откладывается и даже может совсем расстроиться.

— Но кто бы мог подозревать такой оборот дела? — говорил Половодов с Хиной как о деле хорошо ей известном. — А теперь... Послушайте, Хиония Алексеевна, скажите мне ради бога только одно... Вы опытная женщина...

да… Любит Зося Привалова или нет?

— Смешно спрашивать об этом, Александр Павлыч… Разве кто-нибудь принуждал Софью Игнатьевну выходить непременно за Привалова?

— Предположим, что существовали некоторые обстоятельства, которые могли повлиять на решение девушки именно в пользу Привалова.

— Вам ближе знать эти обстоятельства; дела Игнатия Львовича расстроены, а тут еще этот процесс по опеке… Понятно, что Софье Игнатьевне ничего не оставалось, как только выйти за Привалова и этим спасти отца.

— Значит, вы все знаете?..

— Почти… думаю, что вы получили телеграмму из Петербурга о том, что Веревкин проиграл процесс.

Половодов несколько времени удивленными глазами смотрел на свою собеседницу и потом задумчиво проговорил:

— Вы замечательно умная женщина… Мы, вероятно, еще пригодимся друг другу.

Глава 71

Дела на приисках у старика Бахарева поправились с той быстротой, какая возможна только в золотопромышленном деле. В течение весны и лета он заработал крупную деньгу, и его фонды в Узле поднялись на прежнюю высоту. Сделанные за последнее время долги были уплачены, заложенные вещи выкуплены, и прежнее довольство вернулось в старый бахаревский дом, который опять весело и довольно глядел на Нагорную улицу своими светлыми окнами.

Прошедшую весну и лето в доме жили собственно только Марья Степановна и Верочка, а «Моисей», по своему обыкновению, появлялся как комета. С приливом богатства по дому опять покатился беззаботный смех Верочки и ее веселая суетня; Марья Степановна сильно изменилась, похудела и сделалась еще строже и неприступнее. Это был тип старой раскольницы, которая знать ничего не хотела, кроме раз сложившихся убеждений и взглядов. Бегство старшей дочери из дому только укрепило ее в сознании правоты старозаветных приваловских и гуляевских идеалов, выше которых для нее ничего не было.

Она осталась спокойной по отношению к поведению дочери, потому что вся вина падала на голову Василия Назарыча как главного устроителя всяких новшеств в доме, своими руками погубившего родную дочь. Поведение Нади было наказанием свыше, пред которым оставалось только преклониться.

Имя Надежды Васильевны больше не произносилось в бахаревском доме, точно оно могло внести с собой какую-то заразу. Она была навсегда исключена из списка живых людей. Только в моленной, когда Досифея откладывала свои поклоны на разноцветный подручник, она молилась и за рабу божию Надежду; в молитвах Марьи Степановны имя дочери было подведено под рубрику «недугующих, страждущих, плененных и в отсутствии сущих отец и братии наших». Это была холодная раскольничья молитва, вся пропитанная эгоизмом и лицемерием и ради своей формы потерявшая всю теплоту содержания. Летом были получены два письма от Надежды Васильевны, но нераспечатанными попали прямо в печь, и Марья Степановна благочестиво обкурила своей кацеей даже стол, на котором

они лежали. Досифея про себя потихоньку жалела барышню, которую нянчила и пестовала, но открыто заявить свое сочувствие к ней она не смела. Верочка относилась к сестре как-то безучастно, что было совсем уж неестественно для такой молодой девушки. Впрочем, она только повторяла то, что делала мать.

Только один человек во всем доме вполне искренне и горячо оплакивал барышню — это был, конечно, старый Лука, который в своей каморке не раз всплакнул потихоньку от всех. «Ну, такие ее счастки, — утешал самого себя старик, размышляя о мудреной судьбе старшей барышни, — от своей судьбы не уйдешь... Не-ет!.. Она тебя везде сыщет и придавит ногой, ежели тебе такой предел положон!»

Известие о женитьбе Привалова было принято в бахаревском доме с большой холодностью. Когда сам Привалов явился с визитом к Марье Степановне, она не вытерпела и проговорила:

— На бусурманке женишься?

— Нет, не на бусурманке, Марья Степанов-

на, — отвечал Привалов. — Моя невеста католичка...

— Ну, это, по-нашему, все одно... И сам в латын-ской закон уйдешь.

Марья Степановна равнодушно выслушала объяснения Привалова о свободе совести и общей веротерпимости, она все время смотрела на него долгим испытующим взглядом и, когда он кончил, прибавила:

— А ты подумал ли о том, Сереженька, что дом-то, в котором будешь жить с своей бусурманкой, построен Павлом Михайлычем?.. Ведь у старика все косточки перевернутся в могилке, когда твоя-то бусурманка в его дому свою веру будет справлять. Не для этого он строил дом-то! Ох-хо-хо... Разве не стало тебе других невест?..

— Марья Степановна, вы, вероятно, слыхали, как в этом доме жил мой отец, сколько там было пролито напрасно человеческой крови, сколько сделано подлостей. В этом же доме убили мою мать, которую не спасла и старая вера.

— А ты не суди отца-то. Не нашего ума это дело...

— Однако вы судите вперед мою невесту, которая еще никому не сделала никакого зла.

— Не сделала, так сделает... Погоди еще!.. Ох, не ладно ты, Сереженька, удумал, не в добрый час начал.

Василию Назарычу ничего не писали о женитьбе Привалова. Он приехал домой только по первому зимнему пути, в половине ноября, приехал свежим, здоровым стариком, точно стряхнул с себя все старческие недуги. Лука не выдержал и горько заплакал, когда увидал старого барина.

— О чем ты плачешь, старина? — спрашивал Василий Назарыч, предчувствуя что-то недоброе.

— От радости, Василий Назарыч, от радости... — шептал Лука, вытирая лицо рукавом, — заждались мы вас здесь...

— Ну, а еще о чем плачешь?

Лука оглянулся кругом и прошептал:

— Сереженька-то женился, Василий Назарыч...

— Как женился?! На ком?

— А так. Обошли его, обманули!.. По ихнему доброму характеру эту проклятую польку

и подсунули — ну, Сереженька и женился. Я так полагаю — приворожила она его, сударь... Сам приезжал сюда объявляться Марье Степановне, ну, а они его учали маненько корить — куды, сейчас на дыбы, и прочее. С месяц, как свадьбу сыграли. Дом-то старый заново отстроили, только, болтают, неладно у них с первого дня пошло.

— Как неладно?

— А так, как обнаковенно по семейному делу случается: он в одну сторону тянет, а она в другую... Ну, вздорят промежду себя, а потом Сереженька же у нее и прощения просят... Да-с. Уж такой грех, сударь, вышел, такой грех!..

Это известие отравило Бахареву радость возвращения на родное пепелище. Собственный дом показался ему пустым; в нем не было прежней теплоты, на каждом шагу чувствовалось отсутствие горячо любимого человека. На приисках тоска по дочери уравновешивалась усиленной деятельностью, а здесь, в родном гнезде, старика разом охватила самая тяжелая пустота. Приваловская женитьба была лишней каплей горечи. Имена Нади и

Сережи за последний год как-то все время для старика стояли рядом, его старое сердце одинаково болело за обоих. Теперь он не знал, о ком больше сокрушаться, о потерянной навсегда дочери или о Привалове.

Напрасно старик искал утешения в сближении с женой и Верочкой. Он горячо любил их, готов был отдать за них все, но они не могли ему заменить одну Надю. Он слишком любил ее, слишком сжился с ней, прирос к ней всеми старческими чувствами, как старый пень, который пускает молодые побеги и этим протестует против медленного разложения. С кем он теперь поговорит по душе? С кем посоветуется, когда взгрустнется?..

Даже богатство, которое прилило широкой волной, как-то не радовало старика Бахарева, и в его голове часто вставал вопрос: «Для кого и для чего это богатство?» Оно явилось, точно насмешка над упавшими силами старика, напрасно искавшего вокруг себя опоры и поддержки. Оставаясь один в своем кабинете, Василий Назарыч невольно каждый раз припоминал, как его Надя ползала на коленях перед ним и как он оттолкнул ее. Разве он мог

сделать иначе?.. Он был отец, и он первый занес карающую руку на преступную дочь... Иногда в его душе возникало сомнение: справедливо ли он поступил с дочерью? Но все, казалось, было за него, он не находил себе обвинения в жестокости или неправде. Тысячу раз перебирал старик в своей памяти все обстоятельства этого страшного для него дела и каждый раз видел только то, что одна его Надя виновата во всем. Голос сомнения и жалости к дочери замирал под тяжестью обвинения.

Раз Василий Назарыч стоял в моленной. Большие восковые свечи горели тусклым красным пламенем; волны густого дыма от ладана застилали глаза; монотонное чтение раскольничьего кануна нагоняло тяжелую дремоту. Старинные гуляевские и приваловские образа смотрели из киотов как-то особенно строго. Старика точно кольнуло что, и он быстро оглянулся в тот угол, где обыкновенно стояла его Надя... Угол был пуст. Страшная, смертная тоска охватила Василия Назарыча, и он, как сноп, с рыданиями повалился на землю. В его груди точно что-то растаяло, и

ему с болезненной яркостью представилась мысль: вот он, старик, доживает последние годы, не сегодня-завтра наступит последний расчет с жизнью, а он накануне своих дней оттолкнул родную дочь, вместо того чтобы простить ее. «Папа, папа... я никому не сделала зла!» — слышал старик последний крик дочери, которая билась у его ног, как смертельно раненная птица.

Глава 72

Медовый месяц для молодой четы Приваловых миновал, оставив на горизонте ряд тех грозовых облачков, без которых едва ли складывается хоть одно семейное счастье.

Жизнь в обновленном приваловском доме катилась порывистой бурной струей, шаг за шагом обнажая для Привалова то многое, чего он раньше не замечал. Собственно, дом был разделен на две половины: Ляховские остались в своем старом помещении, а Приваловы заняли новое. Только парадные комнаты и передняя были общими. Для двух семей комнат было даже слишком много. На первый раз для Привалова с особенной рельефностью выступили два обстоятельства:

он надеялся, что шумная жизнь с вечерами, торжественными обедами и парадными завтраками кончится вместе с медовым месяцем, в течение которого в его доме веселился весь Узел, а затем, что он заживет тихой семейной жизнью, о какой мечтал вместе с Зосей еще так недавно. Но вышло совсем наоборот: медовый месяц прошел, а шумная жизнь продолжалась по-прежнему. Гости не выходили из дому, и каждый день придумывалось какое-нибудь новое развлечение, так что в конце концов Привалов почувствовал себя в своем собственном доме тоже гостем, даже немного меньше — посторонним человеком, который попал в эту веселую компанию совершенно случайно. Такая жизнь никогда не входила в его расчеты, и его не раз охватывал какой-то страх за будущее.

Зося, конечно, угадывала истинный ход мыслей мужа, но делала вид, что ничего не замечает. Когда Привалов начинал говорить с ней серьезно на эту тему, Зося только пожимала плечами и удивлялась, точно она выслушивала бред сумасшедшего. В самом деле, чего он хочет от нее?.. Таким образом, между

молодыми супругами легла первая тень. Та общая нить, которая связывает людей, порвалась сама собой, порвалась прежде, чем успела окрепнуть, и Привалов со страхом смотрел на ту цыганскую жизнь, которая царила в его доме, с каждым днем отделяя от него жену все дальше и дальше. Он только мог удивляться тем открытиям, какие делал ежедневно: то, что он считал случайными чертами в характере Зоси, оказывалось его основанием; где он надеялся повлиять на жену, получались мелкие семейные сцены, слезы и т. д. Все это выходило как-то обидно и глупо, глупо до боли. Для кого же Зося мучила Привалова и для чего? Он в этом случае не понимал жены и просто терялся в объяснениях... Из новых знакомых, которые бывали у Приваловых, прибыло очень немного: два-три горных инженера, молодой адвокат — восходящее светило в деловом мире — и еще несколько человек разночинцев. Прежние знакомые Зоси остались все те же и только с половины Ляховского перекочевали на половину Привалова; Половодов, «Моисей», Лепешкин, Иван Яковлич чувствовали себя под гостеприим-

ной приваловской кровлей как дома. Они ни в чем не стесняли себя и, как казалось Привалову, к нему лично относились с вежливой иронией настоящих светских людей.

Все эти гости были самым больным местом в душе Привалова, и он никак не мог понять, что интересного могла находить Зося в обществе этой гуляющей братии. Раз, когда Привалов зашел в гостиную Зоси, он сделался невольным свидетелем такой картины: «Моисей» стоял в переднем углу и, закрывшись ковром, изображал архиерея, Лепешкин служил за протодьякона, а Половодов, Давид, Иван Яковлич и горные инженеры представляли собой клир. Сама Зося хохотала как сумасшедшая.

— Это кощунство, Зося... — заметил Привалов, которого эта картина покоробила.

— Нет, это просто смешно!

— Не понимаю!..

— Как всегда!

Если выпадала свободная минута от гостей, Зося проводила ее около лошадей или со своими ястребами и кречетами. Полугодовой медведь Шайтан жил в комнатах и служил

божеским наказанием для всего дома: он грыз и рвал все, что только попадалось ему под руку, бил собак, производил неожиданные ночные экскурсии по кладовым и чердакам и кончил тем, что бросился на проходившую по улице девочку-торговку и чуть-чуть не задавил ее. Но чем больше проказил Шайтан, тем сильнее привязывалась к нему Зося. Она точно не могла жить без него и даже клала его на ночь в свою спальню, где он грыз сапоги, рвал платье и вообще показывал целый ряд самых артистических штук. Только когда Привалов, выведенный из терпения, пообещал отравить Шайтана стрихнином, Зося решилась наконец расстаться со своим любимцем, то есть для него была устроена в саду круглая яма, выложенная кирпичом, и Зося ежедневно посылала ему туда живых зайцев, кроликов и щенков. Ей доставляла удовольствие эта травля, хотя это удовольствие однажды едва не кончилось очень трагически: пьяный «Моисей» полетел в яму к медведю, и только кучер Илья спас его от очень печальной участи. Лошади, кречеты и медвежонок отнимали у Зоси остатки свободного дня, так

что с мужем она виделась только вечером, усталая и капризная. Протесты Привалова против такого образа жизни принимались за личное оскорбление; после двух-трех неудачных попыток в этом роде Привалов совсем отказался от них. Часто он старался обвинить самого себя в неумении отвлечь Зосю от ее друзей и постепенно создать около нее совершенно другую жизнь, других людей и, главное, другие развлечения. Оставалась одна надежда на время... Может быть, Зосе надоест эта пустая жизнь, когда с ней произойдет какой-нибудь нравственный кризис.

— Есть еще одна надежда, Сергей Александрыч, — говорил доктор, который, как казалось Привалову, тоже держался от него немного дальше, чем это было до его женитьбы.

— Именно?

— Как у всякой замужней женщины, у Софьи Игнатьевны могут быть дети, тогда...

Положение Привалова с часу на час делалось все труднее. Он боялся сделаться пристрастным даже к доктору. Собственное душевное настроение слишком было напряже-

но, так что к действительности начали примешиваться призраки фантазии, и расстроенное воображение рисовало одну картину за другой. Привалов даже избегал мысли о том, что Зося могла не любить его совсем, а также и он ее. Для него ясно было только то, что он не нашел в своей семейной жизни своих самых задушевных идеалов.

Скоро обнаружилась еще одна горькая истина. Именно, Привалов не мог не заметить, что все в доме были против него. Это было слишком очевидно. И если Привалов еще мог, в счастливом случае, как-нибудь изолировать свою семейную жизнь от внешних влияний, то против внутреннего, органического зла он был решительно бессилен. Что он мог сделать, когда каждый шаг Зоси в глазах Игнатия Львовича и пани Марины не подлежал даже критике? Раз что-нибудь сделала Зося — все было хорошо. Разве была такая вещь, которой нельзя было бы позволить и извинить такой молоденькой и красивой женщине? Все удивлялись странному поведению Привалова, который просто придирался к Зосе с самыми глупейшими пустяками.

— Если вы не исправитесь, я не отвечаю ни за что! — говорил Ляховский своему зятю. — Вы не цените сокровище, какое попало в ваши руки... Да!.. Я не хочу сказать этим, что вы дурной человек, но ради бога никогда не забывайте, что ваша жена, как всякое редкое растение, не перенесет никакого насилия над собой.

— Я, кажется, делаю, Игнатий Львович, решительно все, что зависит от меня, — пробовал оправдываться Привалов.

— Нет, нет и нет!.. Вы не хотите всмотреться в характер Зоси, не хотите его изучить во всех тонкостях, как обязан сделать каждый муж, который дорожит своим семейным счастьем. Зося подарила вас своей молодостью, своей красотой, — остальное все на вашей совести Вы настолько эгоистичны, что не можете примириться даже с теми детскими прихотями, на какие имеет полное право всякая молоденькая женщина, особенно такая красавица, как Зося. Поверьте моей опытности и постарайтесь воспользоваться моими советами... Я говорю с вами как отец и как человек.

Выход из этого двусмысленного положе-

ния был один: вырвать Зосю из-под влияния родной семьи, другими словами, выгнать Ляховских из своего дома. Но это было невозможно. Враждебный лагерь смыкался около Привалова все теснее и теснее. Зося скоро сама поддалась общему течению и стала относиться к мужу в общем враждебном тоне. Ей как-то все стало не нравиться в Привалове: сапоги у него скрипели; когда он ел, у него так некрасиво поднимались скулы; он не умел поддержать разговора за столом и т. д. Но больше всего Зосе не нравилось в муже то, что он положительно не умел себя держать в обществе — не в меру дичился незнакомых, или старался быть развязным, что выходило натянуто, или просто молчал самым глупейшим образом.

— Понимаете, Сергей Александрыч, вы делаете смешным и себя и меня, — упрекала его Зося.

— Да что же мне делать, Зося? Для чего вся эта комедия, когда я даже совсем не желаю видеть этих людей.

— А... так вы вот как!.. Вы, вероятно, хотите замуровать меня в четыре стены, как это

устраивали с своими женами ваши милые предки? Только вы забыли одно: я не русская баба, которая, как собака, будет все переносить от мужа...

— Зося, опомнись ради бога, что ты говоришь... Неужели я так похож на своих предков?.. Нужно же иметь капельку справедливости...

— Значит, я несправедлива к вам?

Хиония Алексеевна быстро освоилась в новой своей роли и многое успела забрать в свои цепкие руки. Между прочим, когда все в доме были против Привалова, она не замедлила примкнуть к сильнейшей партии и сейчас же присоединила свой голос к общему хору. Она не упускала удобного случая, чтобы поставить Привалова в какое-нибудь неловкое положение, зло подшутить над ним и при случае даже запустить шпильку в больное место. Все это проделывалось с целью попасть в общий тон и угодить Зосе. Однажды она особенно надоела Привалову, и он резко заметил ей:

— Хиония Алексеевна, вы иногда, кажется, забываете, что в этом доме хозяин я... А то вы

так странно держите себя и позволяете себе так много, что в одно прекрасное утро я должен буду принять свои меры.

Разговор происходил с глазу на глаз, и Хиония Алексеевна, прищурив глаз, нахально спросила:

— Именно?.. Как прикажете понять ваши слова: за угрозу просто или за формальный отказ от дома?

— Если хотите, так за то и другое вместе! — крикнул Привалов, едва удерживаясь от желания вышвырнуть ее за дверь.

— Благодарю вас, Сергей Александрыч, — делая книксен, проговорила Хиония Алексеевна в прежнем своем тоне. — Вы мне хорошо платите за tete-a-tete, какие я вам устраивала с Антонидой Ивановной... Ха-ха! Вы, может быть, позабыли, как она целовала вас в вашем кабинете? А я была настолько скромна, что ваша жена еще до сих пор даже не подозревает, с каким чудовищем имеет дело. Merci! Да, я сейчас же ухожу из вашего дома и не поручусь, что ваша жена сегодня же не узнает о ваших милых похождениях. Прибавьте еще Надежду Васильевну к этому... О, я

уверена, что эта бедная девушка пала жертвой вашего сластолюбия, а потом вы ее бросили.

— Хиония Алексеевна...

Но Хиония Алексеевна была уже за порогом, предоставив Привалову бесноваться одному. Она была довольна, что наконец проучила этого миллионера, из-за которого она перенесла на своей собственной спине столько человеческой несправедливости. Чем она не пожертвовала для него — и вот вам благодарность за все труды, хлопоты, неприятности и даже обиды. Если бы не этот Привалов, разве Агриппина Филипьевна рассорилась бы с ней?.. Нет, решительно нигде на свете нет ни совести, ни справедливости, ни признательности!

Из приваловского дома Хина, конечно, не ушла, а как ни в чем не бывало явилась в него на другой же день после своей размолвки с Приваловым. Хозяину ничего не оставалось, как только по возможности избегать этой фурии, чтобы напрасно не подвергать нареканиям и не отдавать в жертву городским сплетням ни в чем не повинные жен-

ские имена, а с другой — не восстановлять против себя Зоси. Хиония Алексеевна в случае изгнания, конечно, не остановилась бы ни перед чем.

— Как жестоко можно ошибиться в людях, даже в самых близких, — меланхолически говорила она Зосе. — Я, например, столько времени считала Александра Павлыча самым отчаянным гордецом, а между тем оказывается, что он совсем не гордец. Или взять Сергей Александрыча... Ах, mon ange, сколько мы, женщины, должны приносить жертв этим отвратительным эгоистам мужчинам!..

Глава 73

Когда переделывали приваловский дом, часть его пристроек была обращена в склады для хлеба, а в моленной были устроены лавки. Затем часть сада была отведена специально под деревянные амбары, тоже для хлеба. Все эти перестройки были закончены к первому санному пути, когда приваловская мельница должна была начать работу. Осенью Привалов только раз был на мельнице, и то ненадолго, чтобы проверить работы. Теперь, когда дома ему делалось слишком тя-

жело, он вспомнил о своей мельнице и по первопутку отправился туда. Когда он выехал за город, то уж почувствовал заметное облегчение; именно ему необходимо было вырваться на деревенский простор и отдохнуть душой на бесконечном раздолье полей, чтобы освободиться от давившего его кошмара. Он сразу повеселел, и многое, что его мучило еще так недавно, показалось ему просто смешным.

— А мы вас здесь крепко дожидаем, Сергей Александрыч, — встретил Нагибин хозяина. — Так дожидаем... Надо первый помол делать, благословясь. Меленка-то совсем готова.

В мельничном флигельке скоро собрались все, то есть Нагибин, Телкин, поп Савел и Ипат, который теперь жил в деревне, тал как в городе ему решительно нечего было делать. Впрочем, верный слуга Привалова не особенно горевал о таком перемещении: барин своей женитьбой потерял в его глазах всякую цену. «Одним словом, как есть пропащий человек!»

В каких-нибудь два часа Привалов уже знал все незамысловатые деревенские ново-

сти: хлеба, слава богу, уродились, овсы — ровны, проса и гречихи — середка на половине. В Красном Лугу молоньей убило бабу, в Веретьях скот начинал валиться от чумы, да отслужили сорок обеден, и бог помиловал. В «орде» больно хороша нынче уродилась пшеница, особенно кубанка. Сено удалось не везде, в петровки солнышком прихватило по увалам; только и поскоблили где по мочевинкам, в понизях да на поемных лугах, и т. д. и т. д.

Мельница была совсем готова. Воды в пруде, по расчетам Телкина, хватит на всю зиму. Оставалось пустить все «обзаведение» в ход, что и было приведено в исполнение хмурым октябрьским утром. Зашумела вода, повертывая громадное водяное колесо, а там и пошли работать шестерни, валы и колеса с разными приводами и приспособлениями. Все было в исправности; работа шла как по-писаному. Из-под жерновов посыпалась теплая мука, наполняя всю мельницу своим специфическим ароматом. Все с напряженным вниманием следили за этой работой, которая совершалась вполне форменно — лучше требовать

нельзя.

— Ну, с первинкой, Сергей Александрыч, поздравляем, заговорил Нагибин. — Все по форме и без сумления. В самый аккурат издалась меленка, в добрый час будь сказано!

Телкин подробно еще раз показал и объяснил, где нужно, весь двигавшийся механизм. Глаза у него блестели, а лицо подернулось легкой краской; он сдерживал себя, стараясь не выдать волновавшего его чувства счастливой гордости за шевелившееся, стучавшее и шумевшее детище.

— Теперь можно и поздравить хозяина, — говорил поп Савел, успевший порядочно выпачкаться в муке; мелкий бус, как инеем, покрыл всех.

После официального открытия мельницы было устроено приличное угощение. Публика почище угощалась в флигельке, а для мужиков были поставлены столы в самой мельнице. Мужиков набилось густо, и все нужный народ, потрудившийся в свою долю при постройке: кто возил бревна, кто бутовый камень, кто жернова и т. д. После трех стаканов водки на мельнице поднялся тот пьяный

шум, приправленный песней и крепким русским словцом, без чего не обходится никакая мужицкая гулянка. Потные красные бородатые лица лезли к Привалову целоваться; корявые руки хватали его за платье; он тоже пил водку вместе с другими и чувствовал себя необыкновенно хорошо в этом пьяном мужицком мире. Отдельный стол был поставлен для баб, которые работали при затолчке плотины; он теперь походил на гряду с маком и весело пестрел красными, синими и желтыми цветами. Бабы пропустили по стаканчику, и маковая гряда тоже заголосила на все лады, присоединяясь к мужицкому галдению. Где-то пиликнула вятская гармоника, в другом углу жалобно затренькала деревенская балалайка, и началась музыка... Старостиха Анисья тончайшим голосом завела песню, ее подхватили десятки голосов, и она полилась нестройной, колыхавшейся волной, вырвалась на улицу и донеслась вплоть до деревни, где оставались только самые древние старушки, которые охали и крестились, прислушиваясь, как мир гуляет.

Поп Савел успел нагрузиться вместе с дру-

гими и тоже лез целоваться к Привалову, донимая его цитатами из всех классиков. Телкин был чуть-чуть навеселе. Вообще все подгуляли, за исключением одного Нагибина, который «не принимал ни капли водки». Началась пляска, от которой гнулись и трещали половицы; бабы с визгом взмахивали руками; захмелевшие мужики грузно топтались на месте, выбивая каблуками отчаянную дробь.

— Гуляй, девонька!.. — выкрикивал какой-то рыжий мужик, отплясывая в рваном полушубке. — Мматушки... шире бери!..

Когда общее веселье перешло в сплошной гвалт и мельница превратилась в настоящий кабак, Привалов ушел в свой флигель. Он тоже был пьян и чувствовал, как перед глазами предметы двоились и прыгали.

Утром он проснулся с сильной головной болью и с самым смутным представлением о том, что делалось вчера на мельнице.

— Здорово отгуляли, Сергей Александрыч, — улыбался Нагибин.

— Ничего.

— Теперь только чайку испить — и дело в шляпе. Поп Савел уже наведывался, он все

еще вчерашним пьян... А слышите, как меленка-то постукивает? Капитон с трех часов пустил все обзаведение...

Привалову казалось с похмелья, что постукивает не на мельнице, а у него в голове. И для чего он напился вчера? Впрочем, нельзя, мужики обиделись бы. Да и какое это пьянство, ежели разобрать? Самое законное, такая уж причина подошла, как говорят мужики. А главное, ничего похожего не было на шальное пьянство узловской интеллигенции, которая всегда пьет, благо нашлась водка.

— Вот чайку-с... — предлагал Нагибин. — Оно очень облегчает, ежели кто водку принимает... А вон и поп Савел бредет, никак.

— Мир дому сему, — крикнул поп Савел еще под окошком. — У меня сегодня в голове такая мельница мелет... А я уж поправился, стомаха ради и частых недуг!..

Привалов быстро вошел в деревенскую колею, к которой всегда его тянуло. Поездка с Нагибиным по деревням и мелким хлебным ярмаркам отнимала большую половину времени, а другая уходила целиком на мельницу. Работа закипела. Сотни подвод ежедневно

прибывали к мельнице, сваливали зерно в амбары и уступали место другим. Начали расти поленницы белых мешков с зеленым клеймом: «Мельница Привалова». Сотни рабочих были заняты на мельнице переноской и перевозкой зерна, около зерносушилок и веялок, в отделении, где весили и ссыпали муку в мешки. Около приваловского флигеля вечно стояли пустые подводы дожидавшихся расчета мужиков. Через неделю началась правильная отсылка намолотой муки в Узел, в главный склад при приваловском доме. Привалов никогда не чувствовал себя так легко, как в этот момент; на время он совсем позабыл о всем городском и ежедневно отсылал Зосе самые подробные письма о своей деятельности.

Зося отвечала на письма мужа коротенькими записочками Между прочим она писала ему, что скучает одна и желала бы сама жить где-нибудь в деревне, если бы могла оставить своих стариков. Привалов сначала не верил, но желание быть счастливым было настолько велико, что он забывал все старое и снова отдавался душой своей Зосе. Он даже старался во всем обвинить самого себя, только бы

спасти свое чувство, свою любовь. Ведь она хорошая, эта Зося, она любит его... При первой возможности Привалов бросил все дела на мельнице и уехал в Узел. Но там его ожидало новое разочарование: Зося встретила его совсем враждебно, почти с ненавистью. Это он видел по ее темным глазам, по недовольному лицу, по необыкновенной раздражительности.

— Мне гораздо лучше было совсем не приезжать сюда, — говорил Привалов. — Зачем ты писала то, чего совсем не чувствовала?.. По-моему, нам лучше быть друзьями далеко, чем жить врагами под одной кровлей.

Этот тон смутил Зосю. Несколько дней она казалась спокойнее, но потом началась старая история. Привалова удивляло только то, что Половодов совсем перестал бывать у них, и Зося, как казалось, совсем позабыла о нем. Теперь у нее явилось новое развлечение: она часов по шести в сутки каталась в санях по городу, везде таская за собой Хину. Она сама правила лошадью и даже иногда сама закладывала свой экипаж.

Дело по хлебной торговле пошло бойко в

гору. Привалов уже успел сбыть очень выгодно несколько больших партий на заводы, а затем получил ряд солидных заказов от разных торговых фирм. Расчеты и ожидания оправдались скорее, чем он надеялся. Недоставало времени и рабочих рук. Приходилось везде поспевать самому, чтобы поставить сразу все дело на твердую почву. Много времени отнимали разные хлопоты с нотариусами и банками. Раз, когда Привалов зашел в Узловско-Моховский банк, он совсем неожиданно столкнулся со стариком Бахаревым. Оба смутились и не знали, о чем говорить.

— Ну, что твоя мельница? — спросил наконец Бахарев, не глядя на Привалова.

— Пока ничего, работает. Давно ли вы вернулись с приисков, Василий Назарыч?

— Да уж порядочно, пожалуй, с месяц... Ах, я и забыл: поздравляю тебя с женитьбой.

Вышла самая тяжелая и неприятная сцена. Привалову было совестно пред стариком, что он до сих Пор не был еще у него с визитом, хотя после своего последнего разговора с Марьей Степановной он мог его и не делать.

Глава 74

От Веревкина последнее письмо было получено незадолго до женитьбы Привалова. В нем Nicolas отчасти повторял то же самое, о чем уже писал раньше, то есть излагал разные блестящие надежды и смелые комбинации. Прибавкой являлось только то, что ему порядочно надоело в Петербурге, и он начинал порываться в Узел, в свою родную стихию, в которой плавал как рыба в воде. Занятый семейными делами и мельницей, Привалов забыл о своем поверенном, о котором ему напомнила встреча со стариком Бахаревым. Уже одна фигура этого типичного старика служила как бы немым укором: а что же заводы? как идут дела об опеке? что делал там, в Петербурге, этот Веревкин? Привалов не мог порядочно ответить ни на один из этих вопросов, и теперь совесть особенно мучила его, что он из-за личных дел забыл свои главные обязанности Вообще все выходило как-то особенно глупо, за исключением разве одной мельницы, которая работала все время отлично. Да и эта единственная удача была отравлена тем, что Привалов ни с кем не мог поделиться своей радостью.

О семье Бахаревых Привалов слышал стороной, что дела по приискам у Василия Назарыча идут отлично. Рассказывали о сотнях тысяч, заработанных им в одно лето. За богатством опять тянулась блестящим хвостом слава. Все с уважением говорили о старом Бахареве, который из ничего создавал миллионы. Только о Надежде Васильевне никто ничего не знал, а Привалов слышал мельком о ней от доктора, который осенью был в Шатровских заводах. Костя Бахарев никогда не любил обременять себя перепиской, поэтому Привалов нисколько не удивился, что не получил от него в течение полугода ни одной строчки.

Однажды на своем письменном столе Привалов, к своему удивлению, нашел карточку Кости Бахарева.

— Он уехал, вероятно, обратно на заводы? — спрашивал Привалов Пальку.

— Нет, они сюда приехали совсем...

— Как совсем?

— Так-с... Теперь живут в «Золотом якоре», просили известить их, когда вы приедете. Прикажете послать им сказать?

— Нет, не нужно... Я сам к нему поеду.

Этот неожиданный приезд Кости Бахарева поразил Привалова; он почуял сразу что-то недоброе и тотчас же отправился в «Золотой якорь». Бахарев был дома и встретил друга детства с насмешливой холодностью.

— Я совсем, Сергей Александрыч, — заговорил Костя, когда Привалов сел на диванчик.

— Как совсем?

— Да так... Получил чистую от Александра Павлыча.

— Ничего не понимаю!

— А между тем все дело чрезвычайно просто; пока ты тут хороводился со своей свадьбой, Половодов выхлопотал себе назначение поверенным от конкурсного управления... Да ты что смотришь на меня такими глазами? Разве тебе Веревкин ничего не писал?

— Последнее письмо я от него получил месяца два тому назад.

— Ну, батенька, в это время успело много воды утечь... Значит, ты и о конкурсе ничего не знаешь?.. Завидую твоему блаженному неведению... Так я тебе расскажу все: когда

Ляховский отказался от опекунства, Половодов через кого-то устроил в Петербурге так, что твой второй брат признал себя несостоятельным по каким-то там платежам...

— Да ведь он идиот?

— Это все равно... Объявили несостоятельным и назначили конкурс, а поверенным конкурсного управления определили Половодова. Впрочем, это случилось недавно... Он меня и смазал для первого раза. Говоря проще, мне отказали от места, а управителем Шатровских заводов назначили какого-то Павла Андреича Кочнева, то есть не какого-то, а родственника Половодова. Он женат на Шпигель, родной сестре матери Веревкина. Теперь понял, откуда ветер дует?

Привалов несколько времени молчал; полученное известие ошеломило его, и он как-то ничего не мог сообразить: как все это случилось? какой конкурс? какой Кочнев? при чем тут сестрицы Шпигель?

— Что же мы теперь будем делать? — проговорил Привалов, приходя в себя.

— Ты — не знаю, что будешь делать, а я получил приглашение на заводы Отметышева,

в Восточную Сибирь, — сказал Бахарев. — Дают пять тысяч жалованья и пятую часть паев... Заводы на паях устроены.

— Так... Что же, скатертью тебе дорога, — ответил задумчиво Привалов, глядя в пространство, — а нам деваться некуда...

— Я одного только не понимаю, Сергей, — заговорил Бахарев, стараясь придать тону голоса мягкий характер, — не понимаю, почему ты зимой не поехал в Петербург, когда я умолял тебя об этом? Неужели это так трудно было сделать?

Привалов схватился за голову и забегал по комнате, как раненый зверь; вопрос Бахарева затронул самое больное место в его душе.

— А Василий Назарыч знает о конкурсе? — спрашивал Привалов, продолжая бегать.

— Да... я ему рассказывал...

— Разве вы помирились?

— То есть как тебе сказать; ведь мы, собственно, не ссорились, так что и мириться нечего было. Просто приехал к родителю, и вся недолга. Он сильно переменился за это время...

— Вспылил, когда узнал о конкурсе?

— Нет... заплакал. В старчество впадает... Все заводы жалел. Ах да, я тебе позабыл сказать: сестра тебе кланяется...

Привалов вопросительно посмотрел на Бахарева; в его голове мелькнуло сердитое лицо Верочки.

— Разве забыл — Надя?

— Ах да... виноват. Ну что, как она поживает?

— Ничего, теперь переехала на прииск к Лоскутову. Два сапога — пара: оба бредят высшими вопросами и совершенно довольны друг другом.

— Я слышал, что Василий Назарыч разошелся с Надеждой Васильевной? — спрашивал Привалов, чтобы замять овладевшее им волнение; там, в глубине, тихо-тихо заныла старая, похороненная давно любовь.

— Да, тут вышла серьезная история... Отец, пожалуй бы, и ничего, но мать — и слышать ничего не хочет о примирении. Я пробовал было замолвить словечко; куда, старуха на меня так поднялась, что даже ногами затопала. Ну, я и оставил. Пусть сами мирятся... Из-за чего только люди кровь себе портят, не по-

нимаю и не понимаю. Мать не скоро своротишь: уж если что поставит себе — кончено, не сдвинешь. Она ведь тогда прокляла Надю... Это какой-то фанатизм!.. Вообще старики изменились: отец в лучшую сторону, мать — в худшую.

Друзья детства проговорили за полночь о заводах и разных разностях. Бахарев не укорял Привалова, так как не интересовался его теперешней жизнью. Он даже не полюбопытствовал узнать, как теперь живется Привалову. Это было в характере Кости; он никогда не вмешивался в чужую жизнь, как не посвящал никого в свои интимные дела. Это был человек дела с ног до головы, и Привалов нисколько не обижался его невниманием к собственной особе. Сам Привалов не хотел заговаривать о своей новой жизни, потому что, раз, это было слишком тяжело, а второе — ему совсем не хотелось раскрывать перед Костей тайны своей семейной жизни. Все, и хорошее и дурное, Привалов переживал один на один, не требуя ничьего участия, ни совета, ни сочувствия.

— Ты скоро едешь? — спрашивал Прива-

лов на прощанье.

— Не знаю пока... Может быть, проживу здесь зиму. Хочется отдохнуть. Я не хочу тебя чем-нибудь упрекнуть, а говорю так: встряхнуться необходимо.

— Послушай, Сергей, — остановил Привалова Бахарев, когда тот направился к выходу. — Отчего же ты к нашим не заедешь? Я про стариков говорю...

— Неловко как-то...

— Ну, как знаешь... Тебе лучше знать.

Из «Золотого якоря» Привалов вышел точно в каком тумане; у него кружилась голова. Он чувствовал, что все кругом него начинает рушиться, и ему не за что даже ухватиться. Приходилось жить с такими людьми, с которыми он не имел ничего общего, и оттолкнуть от себя тех, кого он ценил и уважал больше всего на свете. Прежде чем вернуться в свой дом, Привалов долго бродил по городу, желая освежиться. В голове поднимался целый ворох самых невеселых мыслей. Жизнь начала тяготить Привалова, а сознание, что он поступает как раз наоборот с собственными намерениями, — щемило и сосало сердце,

как змея.

Глава 75

Ляховский, по-видимому, совсем поправился. Он мог ходить по комнатам без помощи костылей и по нескольку часов сряду просиживал в своем кабинете, занимаясь делами с своим новым управляющим. Но все это была только одна форма: прежнего Ляховского больше не было. Сам Ляховский сознавал это и по временам впадал в какое-то детское состояние: жаловался на всех, капризничал и даже плакал. Между тем этот же Ляховский весь точно встряхивался, когда дело касалось новой фирмы «А. Б. Пуцилло-Маляхинский»; в нем загоралась прежняя энергия, и он напрягал последние силы, чтобы сломить своего врага во что бы то ни стало. Это были жалкие усилия, что и сам Ляховский сознавал в спокойную минуту, но освободиться от своей idee fixe он был не в силах. Часто он создавал самые нелепые проекты и требовал их немедленного осуществления; но проходил день, и проекты шли на подтопку.

Доктор видел состояние Ляховского и не скрывал от себя печальной истины.

— Игнатий Львович, вы, конечно, теперь поправились, — говорил доктор, выбирая удобную минуту для такого разговора, — но все мы под богом ходим... Я советовал бы на всякий случай привести в порядок все ваши бумаги.

— Что вы хотите сказать этим?

— Вы понимаете меня хорошо... У вас есть дочь; вам следует заблаговременно позаботиться о ней.

— Вы заживо меня хороните, доктор! — горячился Ляховский. — У меня все готово, и завещание написано на имя Зоси. Все ей оставляю, а Давиду — триста рублей ежегодной пенсии. Пусть сам учится зарабатывать себе кусок хлеба... Для таких шалопаев труд — самое лучшее лекарство... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь; у меня давно все готово.

В подтверждение своих слов Ляховский вынимал из письменного стола черновую приготовленного духовного завещания и читал ее доктору пункт за пунктом. Завещание было составлено в пользу Зоси, и доктор успокаивался.

— Но я скоро не умру, доктор, — с улыбкой

говорил Ляховский, складывая завещание обратно в стол. — Нет, не умру... Знаете, иногда человека поддерживает только одна какая-нибудь всемогущая идея, а у меня есть такая идея... Да!

— Именно?

— А Пуцилло-Маляхинский?.. Поверьте, что я не умру, пока не сломлю его. Я систематически доконаю его, я буду следить по его пятам, как тень... Когда эта компания распадется, тогда, пожалуй, я не отвечаю за себя: мне будет нечего больше делать, как только протянуть ноги. Я это замечал: больной человек, измученный, кажется, места в нем живого нет, а все скрипит да еще работает за десятерых, воз везет. А как отняли у него дело — и свалился, как сгнивший столб.

На другой день после своего разговора с Бахаревым Привалов решился откровенно обо всем переговорить с Ляховским. Раз, он был опекуном, а второе, он был отец Зоси; кому же было ближе знать даже самое скверное настоящее. Когда Привалов вошел в кабинет Ляховского, он сидел за работой на своем обычном месте и даже не поднял головы.

— Мне хотелось бы переговорить с вами об одном очень важном деле, — заговорил Привалов.

— А... с удовольствием. Я сейчас...

Ляховский отодвинул в сторону свой последний проект против компании «Пуцилло-Маляхинский» и приготовился слушать; он даже вытащил вату, которой закладывал себе уши в последнее время. Привалов передал все, что узнал от Бахарева о конкурсе и назначении нового управителя в Шатровские заводы. Ляховский слушал его внимательно, и по мере рассказа его лицо вытягивалось все длиннее и длиннее, и на лбу выступил холодный пот.

— Я рассказал вам все, что сам знаю, — закончил Привалов. — Веревкин, по всей вероятности, послал мне подробное письмо о всем случившемся, но я до сих пор ничего не получал от него. Вероятно, письмо потерялось...

Ляховский молча посмотрел на Привалова через очки, потер себе лоб и нетерпеливо забарабанил сухими пальцами по ручке кресла.

— Не понимаю, не понимаю... — заговорил он глухим голосом. — Послушайте, может

быть, Веревкин продал вас?..

Привалов только что хотел вступиться за своего поверенного, как Ляховский вскочил с своего места, точно ужаленный; схватившись за голову обеими руками, он как-то жалко застонал:

— Постойте: вспомнил... Все вспомнил!.. Вот здесь, в этом самом кабинете все дело было... Ах, я дурак, дурак, дурак!!.. А впрочем, разве я мог предполагать, что вы женитесь на Зосе?.. О, если бы я знал, если бы я знал... Дурак, дурак!..

— Я не понимаю, в чем дело, Игнатий Львович?

— Не понимаете?.. Сейчас поймете!.. О, это все устроил Половодов; я, собственно, не виноват ни душой, ни телом. Послушайте, Сергей Александрыч, никогда и ни одному слову Половодова не верьте... Это все он устроил — и меня подвел, и вас погубил.

— Я не...

— Позвольте; помните ли вы, как Веревкин начинал процесс против опеки?.. Он тогда меня совсем одолел... Ведь умная бестия и какое нахальство! Готов вас за горло схва-

тить. Вот Половодов и воспользовался именно этим моментом и совсем сбил меня с толку. Просто запугал, как мальчишку... Ах, я дурак, дурак! Видите ли, приезжал сюда один немец, Шпигель... Может быть, вы его видели? Он еще родственником как-то приходится Веревкину... Как его, позвольте, позвольте, звали?.. Карл... Фридрих...

— Да, я видел его у Веревкиных; Оскар Филипыч...

— Вот... вот он самый... Ведь немчурка совсем ничтожная... Вот Половодов и привел ко мне этого самого немчурку, да вдвоем меня и обделали. Понимаете, совсем обошли, точно темноту на меня навели...

Ляховский подробно рассказал Привалову всю историю своего знакомства с Шпигелем и результат их совещаний.

— Одним словом, получается довольно грязненькая история, — проговорил Ляховский, бегая по комнате. — Винюсь, выжил из ума...

— Я желал бы знать только одно: почему вы не рассказали мне всей этой истории, когда я сделал предложение вашей дочери? —

спрашивал побледневший Привалов. — Мне кажется, что у вас более не должно было оставаться никаких причин подкапываться под меня?

— Ах, господи, господи... — опять застонал Ляховский. — Да разве вы не знаете такой простой вещи, что одна глупость непременно ведет за собой другую, а другая — третью... Клянусь вам богом, что я хотел вам все рассказать, решительно все, но меня опять сбил Половодов. Я еще не успел оправиться тогда хорошенько от болезни, а он и взял с меня слово молчать обо всем... Видите ли, основание-то молчать было: во-первых, я сам не верил, чтобы этот Шпигель мог что-нибудь сделать — это раз; во-вторых, когда вы сделали предложение Зосе, ваш процесс клонился в вашу пользу... Половодов тогда, еще до вашего предложения, нарочно приезжал предупредить меня... Как же!.. Он, кажется, сам тогда сильно струхнул и даже потерял голову. Но все-таки как честный человек я должен был объяснить вам... И объяснил бы, если бы не было совестно. Войдите в мое положение: вы делаете предложение моей дочери, она

любит вас, и вдруг я вас обливаю целым ушатом холодной воды... Если кто виноват, так виноват именно я, я и в ответе; у меня просто не поднялась рука расстроить счастье Зоси... Была еще причина, почему я не рассказал вам всего, — продолжал Ляховский после короткой паузы. — Положим, вы сейчас же отправились бы лично хлопотать по своему делу... Хорошо. Вы думаете, вы помогли бы делу?.. О нет... Вы бы испортили его вконец, как доктор, который стал бы лечить самого себя. Там, очевидно, у них составилась сильная партия, если они успели провести дело. И как отлично все задумано: объявить идиота несостоятельным... Это гениальная идея!.. И она никому не пришла бы в голову, уверяю вас, кроме этого немца... О, это он все устроил от начала до конца. По когтям видно зверя...

— Почему же вы с такой уверенностью говорите, что все дело устроил непременно Шпигель?

— А кто же больше?.. Он... Непременно он. У меня положительных Данных нет в руках, но я голову даю на отсечение, что это его рук дело. Знаете, у нас, практиков, есть извест-

ный нюх. Я сначала не доверял этому немцу, а потом даже совсем забыл о нем, но теперь для меня вся картина ясна: немец погубил нас... Это будет получше Пуцилло-Маляхинского!.. Поверьте моей опытности.

— Мне хотелось бы знать еще одно обстоятельство, — спросил Привалов. — Как вы думаете, знала Зося эту историю о Шпигеле или нет? Ведь она всегда была хороша с Половодовым.

— Вот вам бог, что она ничего не могла знать!.. — клялся Ляховский.

Привалов, пошатываясь, вышел из кабинета Ляховского. Он не думал ни о конкурсе, ни о немце Шпигеле; перед ним раскрылась широкая картина человеческой подлости... Теперь для него было ясно все, до последнего штриха; его женитьбу на Зосе устроил не кто другой, как тот же Половодов. Он запугал Зосю разорением отца — с одной стороны, а с другой — процессом по опеке; другими словами, Половодов, жертвуя Зосей, спасал себя, потому что как бы Привалов повел процесс против своего тестя?.. Все было ясно, все было просто. Только одно еще смущало Привалова:

Половодов любил Зосю — это очевидно из всего его поведения; Половодов, без сомнения, очень проницательный и дальновидный человек; как же он не мог предвидеть торжества своей интриги и ошибся всего на какой-нибудь один месяц?..

Ночью с Ляховским сделался второй удар. Несмотря на все усилия доктора, спасти больного не было никакой возможности; он угасал на глазах. За час до смерти он знаком попросил себе бумаги и карандаш; нетвердая рука судорожно нацарапала всего два слова: «Пуцилло-Маляхинский...» Очевидно, сознание отказывалось служить Ляховскому, паралич распространялся на мозг.

Весь дом был в страшном переполохе; все лица были бледны и испуганы. Зося тихонько рыдала у изголовья умирающего отца. Хина была какими-то судьбами тут же, и не успел Ляховский испустить последнего вздоха, как она уже обшарила все уголки в кабинете и перерыла все бумаги на письменном столе.

— Ищите завещание... — шептала она Зосе, бегая по кабинету, как угорелая мышь.

— После... — прошептала Зося.

— Нет, сейчас... Это очень важно!..

Начались поиски завещания; были открыты все ящики, десять раз перебрана была каждая бумажка; единственным результатом всех поисков были два черновых завещания, которые Ляховский читал доктору. Как только рассвело утро, Хина объехала всех нотариусов и навела справки: завещания нигде не было составлено. Хина еще раз перерыла весь кабинет Ляховского, — все было напрасно.

— Несчастная... — шипела Хина, обращаясь к Зосе. — Понимаете ли вы, что все наследство достанется одному Давиду, а вам ничего...

— Как ничего?..

— А так... Вы свое, по закону, получили сполна в форме приданого... Вот и любуйтесь на свои тряпки! Тьфу!.. Уж именно — век живи, век учись, а дураком умрешь...

Глава 76

После смерти Ляховского в доме Привалова поселилась какая-то тяжелая пустота; все чувствовали, что чего-то недостает. Привалов не любил Ляховского, но ему было жаль старика; это все-таки был недюжинный человек;

при других обстоятельствах, вероятно, этот же самый Ляховский представлял бы собой другую величину. Человеческой природе свойственно забывать недостатки умерших и припоминать их хорошие стороны: это одно из самых светлых проявлений человеческой натуры. Как опекуна и как тестя Привалов не уважал Ляховского, но как замечательно умного человека он его любил. Со стариком не было скучно, во всех его разговорах звучала сухая, но остроумная нотка. Особенно теперь, когда для сравнения остался Давид Ляховский, все оценили старого Ляховского, этого скупого, придирчивого, вечно ворчащего и вечно больного человека.

Получив утверждение в правах наследства, Давид быстро расправил свои крылышки. Он начал с того, что в качестве вполне самостоятельного человека совсем рассорился с Приваловым и переехал с пани Мариной в свой собственный дом, который купил на Нагорной улице. Старый Палька последовал, конечно, за молодым барином, а его место в швейцарской приваловского дома занял выписанный из Гарчиков Ипат. Этот верный

слуга, нарядившись в ливрею, не мог расстаться со своей глупостью и ленью и считал своим долгом обращаться со всеми крайне грубо.

Зося первое время была совсем убита смертью отца. Привалов сначала сомневался в искренности ее чувства, приписывая ее горе неоправдавшимся надеждам на получение наследства, но потом ему сделалось жаль жены, которая бродила по дому бледная и задумчивая. Оставшись только вдвоем с женой в старом отцовском доме, Привалов надеялся, что теперь Зося вполне освободится от влияния прежней семейной обстановки и переменит образ своей жизни. Доктор бывал в приваловском доме каждый день, и Привалов особенно рад был видеть этого верного друга.

— Она изменится, — говорил доктор Привалову несколько раз. — Смерть отца заставит ее одуматься... Собственно говоря, это хорошая натура, только слишком увлекающаяся.

— Доктор, вы ошибаетесь, — возражал Привалов. — Что угодно, только Зося самая неувлекающаяся натура, а скорее черствая и

расчетливая. В ней есть свои хорошие стороны, как во всяком человеке, но все зло лежит в этой неустойчивости и в вечной погоне за сильными ощущениями.

— Зося эксцентрична, но у нее доброе сердце...

— Может быть... От души желал бы ошибиться.

Что особенно не нравилось Привалову, так это то, что Хина после смерти Ляховского как-то совсем завладела Зосей, а это влияние не обещало ничего хорошего в будущем. Все старания Привалова и доктора выжить Хину из дому оставались совершенно безуспешными: Зося не могла жить без своей дуэньи и оживлялась только в ее присутствии. Зося со своей стороны не могла не заметить громадной перемены в своем муже. Он относился к ней ровно и спокойно, как к постороннему человеку, с той изысканной вежливостью, которая заменила недавнюю любовь. Зося чувствовала, что муж не любит ее, что в его ласках к ней есть что-то недосказанное, какая-то скрытая вражда. Привалов скучал с ней и с удовольствием уходил в свой кабинет, чтобы

зарыться в бумаги.

— Душечка, это он хочет испытать вас, — говорила Хина, — а вы не поддавайтесь; он к вам относится холодно, а вы к нему будьте еще холоднее; он к вам повертывается боком, а вы к нему спиной. Все эти мужчины на один покрой; им только позволь...

— Мне все равно, пусть его... — со скучающим видом отвечала Зося. — Я даже не замечаю, есть он в доме или его нет...

— Знаете, душечка, на что сердится ваш муженек? — говорила Хина. — О, все эти мужчины, как монеты, походят друг на друга... Я считала его идеальным мужчиной, а оказывается совсем другое! Пока вы могли рассчитывать на богатое наследство, он ухаживал за вами, а как у вас не оказалось ничего, он и отвернул нос. Уж поверьте мне!

— Нет, это вздор... Он просто глуп, Хиония Алексеевна.

— Ах, извините, mon ange... Я боялась вам высказаться откровенно, но теперь должна сознаться, что Сергей Александрыч действительно немного того... как вам сказать... ну, недалек вообще (Хина повертела около своего

лба пальцем). Если его сравнить, например, с Александром Павлычем... Ах, душечка, вся наша жизнь есть одна сплошная ошибка! Давно ли я считала Александра Павлыча гордецом... Помните?.. А между тем он совсем не горд, совсем не горд... Я жестоко ошиблась. Не горд и очень умен...

По зимнему пути Веревкин вернулся из Петербурга и представил своему доверителю подробный отчет своей деятельности за целый год. Он в живых красках описал свои хождения по министерским канцеляриям и визиты к разным влиятельным особам; ему обещали содействие и помощь. Делом заинтересовался даже один министр. Но Шпигель успел организовать сильную партию, во главе которой стояли очень веские имена; он вел дело с дьявольской ловкостью и, как вода, просачивался во все сферы.

— Я все-таки переломил бы этого дядюшку, — повествовал Веревкин, — но ему удалось втянуть в дело одну даму... А эта дама, батенька, обламывает и не такие дела. Ну, одним словом, она проводит дела через все инстанции, у нее что-то вроде своего министер-

ства, черт ее возьми!

— Ляховский мне рассказывал...

— Покойник спятил с ума под конец; что ему стоило предупредить вас об этой даме летом? О, тогда бы мы все оборудовали лихим манером; сунули бы этой даме здоровый куш, и дело бы наше. Я поздно узнал... А все-таки я пробился к ней.

— Ну, и что же?

— Да ничего... Бабенка действительно умная. Лёт этак под тридцать, в теле и насчет обхождения... Одним словом, этакая бальзаковская женщина большую силу забрала над разными сиятельными старцами. Прямо мне сказала: «Где же вы раньше-то были? А теперь я ничего не могу сделать... Покойников с кладбища не ворочают». Ей-богу, так и сказала. А я спрашиваю ее: «Неужели, говорю, и надежды впереди никакой не осталось?» — «Нет, говорит, надеяться всегда можно и следует...» Смеется, шельма!.. Пикантная бабенка, черт ее возьми... Она вас... кажется, встречала где-то.

— Не помню, едва ли.

— А знаете, какой совет она мне дала на

прощанье? «Вы, говорит, теперь отдохните немного и дайте отдохнуть другим. Через год конкурс должен представить отчет в опеку, тогда вы их и накроете... Наверно, хватят большой куш с радости!» Каково сказано!.. Ха-ха... Такая политика в этой бабенке — уму помраченье! Недаром миллионными делами орудует.

— Значит, теперь остается только ждать?

— Да, ждать. Будем обтачивать терпение... Я, грешный человек, намекнул бабенке, что ежели и всякое прочее, так мы за гешефтом не постоим. Смеется, каналья...

— Ну, это уж вы напрасно, Николай Иваныч. Я не давал вам полномочий на такие предложения и никогда не пойду на подобные сделки. Пусть лучше все пойдет прахом!..

— Э, батенька, все мы люди, все человеки... Не бросить же заводы псу?! Геройствовать-то с этой братией не приходится; они с нас будут живьем шкуру драть, а мы будем миндальничать. Нет, дудки!.. Нужно смотреть на дело прямо: клин клином вышибай.

— Нет, я все-таки не согласен.

«Этакой пень дурацкий! — обругался про

себя Веревкин. — Погоди, не то запоешь, как подтянут хорошенько нас, рабов божиих...»

Итак, приходилось ждать и следить за деятельностью Половодова. Вся трудность задачи заключалась в том, что следить за действиями конкурса нельзя было прямо, а приходилось выискивать подходящие случаи. Первый свой отчет Половодов должен был подать будущей осенью, когда кончится заводский год.

Глава 77

На мельнице зимой работа кипела; Привалов ездил в Гарчики довольно часто, но, когда первые хлопоты поулеглись и свободного времени оставалось на руках много, Привалов не знал, куда ему теперь деваться с этой свободой. Дома оставаться с глазу на глаз с женой ему было тяжело. Каждый раз, когда он видел Зосю, ему представлялся Половодов, который так ловко соединил их брачными узами. Вся кровь бросалась Привалову в голову при одной мысли, что до сих пор он был только жалкой игрушкой в руках этих дельцов без страха и упрека. Несколько раз Привалову хотелось высказать в глаза жене,

за кого он считает ее, но что-то удерживало его. Худой мир все-таки лучше доброй ссоры, да к тому же Привалову не хотелось огорчать доктора, который умел видеть в своей ученице одни хорошие стороны.

Чтобы хоть как-нибудь убить свободное время, которое иногда начинало просто давить Привалова, он стал посещать Общественный клуб — собственно, те залы, где шла игра. Давно ли этот же самый Общественный клуб казался Привалову кабаком, но теперь он был рад и кабаку, чтобы хоть куда-нибудь уйти от самого себя. Привалов перезнакомился кое с кем из клубных игроков и, как это бывает со всеми начинающими, нашел, что, право, это были очень хорошие люди и с ними было иногда даже весело; да и самая игра, конечно, по маленькой, просто для препровождения времени, имела много интересного, а главное, время за сибирским вистом с винтом летело незаметно; не успел оглянуться, а уж на дворе шесть часов утра.

Сначала Привалову было немного совестно очень часто являться в клуб, но потом он совсем освоился с клубной атмосферой. Народ

все был свой, всех загоняла сюда за зеленые столы одна сила — бессодержательность и скука провинциальной жизни. Адвокаты, инженеры, золотопромышленники, купцы, разночинцы — все перемешались за зеленым полем в одну братскую пеструю кучку, жившую одними интересами. Страсть к игре сравнила всех и, как всякая болезнь, не делала исключений. Привалов быстро вошел во вкус этой клубной жизни, весело катившейся в маленьких комнатах, всегда застланных табачным дымом и плохо освещенных. Он скоро изучил до тонкости особенности всех игроков, их слабости и смешные стороны. Были тут игроки, как он, от нечего делать; были игроки, которые появлялись в клубе периодически, чтобы спустить месячное жалованье; были игроки, которые играли с серьезными надутыми лицами, точно совершая таинство; были игроки-шутники, игроки-забулдыги; игроки, с которыми играли только из снисхождения, когда других не было; были, наконец, игроки по профессии, великие специалисты, чародеи и магики.

— Интересно, что сегодня будет у Ивана

Яковлича с Ломтевым, — каждый раз говорил партнер Привалова, член окружного суда, известный в клубе под кличкой Фемиды. — Кто кого утопит... Нашла коса на камень...

Героями зимнего сезона в клубе являлись действительно Иван Яковлич и Ломтев, которые резались изо дня в день не на живот, а на смерть. Раньше они всегда были союзниками, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и они поклялись погубить один другого. Между прочим, Привалов слышал, что сыр-бор загорелся из-за какой-то женщины. Этот карточный турнир сосредоточил на себе общее внимание, и, как военные бюллетени, шепотом передавали технические фразы: «У Ивана Яковлича заколодило... Ломтев в ударе! Иван Яковлич пошел в гору... Ломтев сорвался!» Привалов иногда с нетерпением дожидался вечера, чтобы узнать, кто сегодня сорвется и кто пойдет в гору. Куши росли, а с ними росло и внимание публики.

— Иван Яковлич обделает Ломтева козой, — говорил кто-нибудь.

— Нет, извините, Иван Яковлич еще чином не вышел... Вот посмотрите, как Ломтев

завяжет его в узел!

— Иван Яковлич счастливо играет нынешнюю зиму… Ему везет…

— Гусей по осени считают. Выигрывает всегда тот, кому сначала не везет.

Здесь все было типично даже клубный швейцар, снимая шубы с клубных завсегдатаев, докладывал:

— Ломтев с Пареным Ивана Яковлича разыгрывают-с… Тридцать шестая тысяча пошла.

— А сколько в зиму проигрывают в клубе? — спросил как-то Привалов.

— Год на год не приходится, Сергей Александрыч. А среднее надо класть тысяч сто… Вот в третьем году адвоката Пикулькина тысяч на сорок обыграли, в прошлом году нотариуса Калошина на двадцать да банковского бухгалтера Воблина на тридцать. Нынче, сударь, Пареный большую силу забирать начал: в шестидесяти тысячах ходит. Ждут к рождеству Шелехова — большое у них золото идет, сказывают, а там наши на Ирбитскую ярмарку тронутся.

Пареный — темная личность неизвестного

происхождения и еще более неопределенного рода занятий — в нынешний сезон являлся восходящим светилом, героем дня. Это был средних лет мужчина, с выправкой старого военного; ни в фигуре, ни в лице, ни в манере себя держать, даже в костюме у него решительно ничего не было особенного. Самый заурядный из заурядных людишек, а счастье выбрало именно его... Впереди предвиделись новые куши и новые жертвы. Собственно, для случайностей здесь оставалось очень немного места: все отлично знали, что проиграет главным воротилам за зеленым столом тысяч пять Давид Ляховский, столько же Виктор Васильич, выбросит тысяч десять Лепешкин, а там приедет из Петербурга Nicolas Веревкин и просадит все до последней нитки. Из случайных жертв подвертывались сорвавшиеся с родительской цепи купеческие сынки, хватавшие плохо лежавший кус адвокаты, запустившие лапу в сундук банковские служащие и т. д. Адвокаты и горные инженеры пользовались в этом случае особенно громкой репутацией, потому что те и другие представляли для настоящих матерых игроков постоянную

статью дохода: они спускали тут все, что успели схватить своими цепкими руками на стороне.

— Фильтруют нас здесь, батенька, крепко фильтруют, — говорил Nicolas Веревкин, потряхивая своей громадной головой. — Изображаем из себя веспасиановых губок или пиявок: только насосался, глядишь, уж и выжали, да в банку с холодной водой.

Привалов с любопытством неофита наблюдал этот исключительный мирок и незаметно для самого себя втягивался в его интересы. Он играл по маленькой, без особенно чувствительных результатов в ту или другую сторону. Однажды, когда он особенно сильно углубился в тайны сибирского виста с винтом, осторожный шепот заставил его прислушаться.

— Который? — спрашивал один голос.

— Вот этот... с бородкой, — отвечал другой.

— Гм... Ловко Александр Павлыч обделал делишки; одной рукой схватился за заводы, другой...

Дальше Привалов не мог хорошенько расслышать шепот, но почувствовал, как вся

кровь бросилась к нему в голову и внутри точно что перевернулось.

— Так-с... — продолжал второй голос. — Значит, она к нему и ездит?

— Не к нему в дом, у него своя жена... а к этой даме... Вон ее муж играет налево в углу с Павлом Андреичем.

Привалов инстинктивно взглянул налево в угол: там с Павлом Андреичем играл по одной сотой Виктор Николаич Заплатин.

— А давно? — продолжался шепот.

— Да уж второй месяц. Красавица... Молодец этот Александр Павлыч! Так ему не взять бы ее, так он сначала ее выдал за него, а потом уж и прибрал к своим рукам.

Этот шепот заставил побелеть Привалова; он боялся оглянуться на шептавшихся, как человек, который ждет смертельного удара. У него дрожали колени и тряслись губы от бешенства. Теперь он в состоянии был убить кого угодно... Игра как раз кончилась, и когда он поднялся с места, невольно встретился глазами с двумя шептавшимися почтенными старичками, которые сейчас же замолчали. Привалов пристально посмотрел на них. Это

были совсем незнакомые люди, по костюму — среднего провинциального круга. Его гнев так же быстро упал, как и поднялся: чем виноваты эти невинные сплетники, что он уже сделался жертвой беспощадной городской молвы? Теперь его интимная жизнь не была уже тайной, она была выброшена на улицу и безжалостно топталась всеми прохожими.

Глава 78

Вернувшись из клуба домой, Привалов не спал целую ночь, переживая страшные муки обманутого человека... Неужели его Зося, на которую он молился, сделается его позором?.. Он, несмотря на все семейные дрязги, всегда относился к ней с полной доверенностью. И теперь, чтобы спуститься до ревности, ему нужно было пережить страшное душевное потрясение. Раньше он мог смело смотреть в глаза всем: его семейная жизнь касалась только его одного, а теперь...

«Но обман, обман! — стонал Привалов, хватаясь за голову. — Отчего Зося не сказала прямо, что не любит меня?.. Разве...»

Привалову страстно хотелось бежать от са-

мого себя. Но куда? Если человек безумеет от какой-нибудь зубной боли, то с чем сравнить всю эту душевную муку, когда все кругом застилается мраком и жизнь делается непосильным бременем?..

Сквозь этот наплыв клубком шевеливших-ся чувств слабым эхом пробивалась мысль: «А если все это неправда, пустая городская сплетня, на какую стоит только плюнуть?»

«Конечно, неправда... — говорил вслух Привалов, утешая себя собственно звуком этих слов. — Зося никогда не спустится до обмана...»

Но сейчас же около этой фразы вырастал целый лес страшных призраков. Привалов перебирал все мельчайшие подробности своей семейной жизни, которых раньше не мог понять, — они теперь осветились ярким, беспощадным светом... Ложь, ложь и ложь везде и во всем! Ложь в этой роскошной обстановке, ложь в каждой складке платья, в каждой улыбке, в каждом взгляде... Вот где источник ненависти к нему, с которой Зося напрасно боролась первое время. Половодов совсем опутал ее тысячью нитей, и она для этого че-

ловека могла решиться на все. Теперь ей больше нечего было терять, нечего ждать впереди: она отдалась течению, которое ее неудержимо несло в бездну. Может быть, она не отдалась еще Половодову — для такого обмана она слишком была расчетливой и холодной, — но, что гораздо хуже, она принадлежала Половодову душой. Он все простил бы ей, все извинил, если бы даже открыто убедился в ее связи с Половодовым, но ведь она больше не принадлежала ему, как не принадлежала себе самой.

Привалов забылся только к самому утру тяжелым и беспокойным сном. Когда он проснулся, его первой мыслью было сейчас же идти к жене и переговорить с ней обо всем откровенно, не откладывая дела в долгий ящик.

— Можно войти? — послышался голос Nicolas Веревкина.

— Войдите...

Веревкин пролез в двери и поместился к столу. Привалов позвонил и велел подать водки. После третьей рюмки Nicolas наконец заговорил:

— А я к вам зашел проститься...

— Разве вы уезжаете?

— На Ирбитскую отправляюсь... Есть кой-какие делишки, так надо их оборудовать. Народ все теплый собирается...

— А скоро вы думаете ехать? — спросил Привалов, раздумывая что-то про себя.

— Да этак недельки через две надо будет тронуться. Папахен-то, слышали?

— Да, слышал.

— Прогорел совсем и тоже думает махнуть в Ирбит... Эти игроки все ездят на ярмарку поправляться, как больные куда-нибудь на воды. Папахен верует в теорию вероятностей и надеется выплыть... А шельма Ломтев мастерски его взвесил: общипал до последнего перышка.

Между прочим, Веревкин успел рассказать последние городские новости: приехал Данилушка Шелехов и теперь безобразничает с Лепешкиным в «Магните»; Половодов где-то совсем пропал и глаз никуда не кажет и т. д. Привалов почти ничего не слышал, что рассказывал Nicolas, а когда тот собрался уходить, он проговорил:

— Вот что, Николай Иваныч... Я тоже думаю побывать в Ирбите, так поедемте вместе.

— И отлично, Сергей Александрыч! Лихо закатимся... А для вас это даже необходимо; все эти дела хлебные там завариваются, нужно познакомиться кой с кем из настоящих козырных тузов.

— Да, да... Мне действительно там необходимо побывать.

— Покойник Игнатий Львович много денег загребал на этой Ирбитской — и ведь около каких пустяков: пенечки партию купит, сальца там, — а глядишь, в результате и обсмаковал целый куш.

Ехать на ярмарку было счастливой мыслью для Привалова. Именно ему необходимо было куда-нибудь уехать, чтобы избавиться от давивших его призраков. Оставаться в Узле теперь было выше его сил. Этой поездкой он убивал двух зайцев: раз, мог устроить несколько выгодных операций по хлебной торговле, а второе — он мог на время позабыться в этой бесшабашной ярмарочной атмосфере. Объясниться с женой именно теперь он раздумал, потому что под горячую ру-

ку мог ей наговорить много лишнего, а этим испортил бы все дело. Вообще в результате получился тот вывод, что необходимо бежать из Узла, хотя на время.

Через две недели Привалов отправился на ярмарку вместе с Веревкиным.

Подъезжая еще к Ирбиту, Привалов уже чувствовал, что ярмарка висит в самом воздухе. Дорога была избита до того, что экипаж нырял из ухаба в ухаб, точно в сильнейшую морскую качку. Нервные люди получали от такой езды морскую болезнь. Глядя на бесконечные вереницы встречных и попутных обозов, на широкие купеческие фуры, на эту точно нарочно изрытую дорогу, можно было подумать, что здесь только что прошла какая-то многотысячная армия с бесконечным обозом.

Ирбит — большое село в обыкновенное время — теперь превратился в какой-то лагерь, в котором сходились представители всевозможных государств, народностей, языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. Жажда наживы согнала сюда людей со всех сторон, и эта разноязычная и

разноплеменная толпа отлично умела понять взаимные интересы, нужды и потребности. При первом ошеломляющем впечатлении казалось, что катилось какое-то громадное колесо, вместе с которым катились и барахтались Десятки тысяч людей, оглашая воздух безобразным стоном.

— Папахен тоже на ярмарке, — предупредил Веревкин, когда они подъезжали к каким-то номерам. — Надо будет его разыскать. Впрочем, их с Ломтевым все знают, как белых воробьев.

Трехрублевый номер, который занял Привалов вместе с Веревкиным, как все ярмарочные номера, поражал своим убожеством, вонью и грязью. Непролазная грязь — неотъемлемая принадлежность всех русских ярмарок. Напившись чаю и отдохнув с дороги, Привалов и Веревкин разбрелись в разные стороны. Привалову нужно было на биржу, а потом к кое-кому из воротил по хлебной торговле. Народ был в разгоне, и Привалов проездил по городу до вечера, разыскивая разных нужных людей. Когда он вернулся в свой номер, усталый и разбитый, с пустой головой и волчьим

аппетитом, Веревкин был уже дома, а с ним сидел «Моисей».

— Кого я вижу?.. — кричал он, обнимая Привалова. — Ну, батенька, вот не ожидал... Нечего сказать, удивил мир злодейством!

— Мне удивляться нечего: я за делом приехал, — полушутя, полусерьезно отвечал Привалов, — а вот тебя как сюда занесло?

— Меня?!.. Ха-ха!.. Привела меня сюда... ну, одним словом, я прилетел сюда на крыльях любви, а выражаясь прозой, приехал с Иваном Яковличем. Да-с. Папахен здесь и сразу курсы поправил. Третью ночь играет и на второй десяток тысяч перевалило.

— А ты бухгалтером, что ли, приехал с ним? — заметил лениво Веревкин.

— Говорят тебе — на крыльях любви...

— Это за Катькой Колпаковой, в переводе?

— Хотя бы и за ней... Она меня уж с полгода за нос водит.

Разговор, конечно, происходил с неизбежной выпивкой и характерной русской закуской в виде балыка, салфеточной икры, соленых огурцов и т. д. Веревкин краснел все более и более. «Моисей» начинал глупо хлопать

глазами.

— А где сегодня будут играть? — спрашивал «Моисей». — У Мухина?

— Не знаю, — ответил Веревкин как-то нехотя.

— Врешь, знаешь... И я знаю!

— Тебе же лучше, если знаешь...

— Ддаа... А папахен твой надувает меня... Я, брат, все знаю! Он хочет у меня Катьку Колпакову отбить... Нет, шалишь, не на того напал. Я ей покажу...

— Да, так вот в чем дело! Ну, это еще не велико горе. Катерина Ивановна, конечно, девица первый сорт по всем статьям, но сокрушаться из-за нее, право, не стоит. Поверь моей опытности в этом случае.

— Это уж я знаю, стоит или не стоит... — глухо отвечал «Моисей», ероша волосы. — Я этой Катьке пропишу такую вселенскую смазь...

— Ого-го!.. Вон оно куда пошло, — заливался Веревкин. — Хорошо, сегодня же устроим дуэль по-американски: в двух шагах, через платок... Ха-ха!.. Ты пойми только, что сия Катерина Ивановна влюблена не в папахена, а

в его карман. Печальное, но вполне извинительное заблуждение даже для самого умного человека, который зарабатывает деньги головой, а не ногами. Понял? Ну, что возьмет с тебя Катерина Ивановна, когда у тебя ни гроша за душой... Надо же и ей заработать на ярмарке на свою долю!..

От этих чисто ярмарочных разговоров у Привалова начинала просто болеть голова. Тема была бесконечна: нажива, вино, женщины, карты... Что-то пьяное и беспутное чувствовалось даже в самом воздухе. Смертная Тоска начинала давить и сосать Привалова. Он хотел на время утонуть в этом ярмарочном море, но это было не так-то легко сделать. С раннего утра, где бы он ни был, везде лезла в глаза одна и та же картина: бесшабашное ярмарочное пьянство. Ни одного дела не делалось без водки, и Привалов не мог даже припомнить хорошенько, сколько он сегодня выпил. Впрочем, теперь ему даже хотелось пить. После каждой рюмки он испытывал какое-то предательски приятное чувство, которое подталкивало и тянуло к следующей рюмке. Это облегчение было уже знакомо

Привалову. Он испытывал его в Гарчиках, где пил водку с попом Савелом, и в Общественном узловском клубе, когда в антрактах между роберами нельзя было не выпить с хорошим человеком.

— Куда мы сегодня поедем вечером? — спрашивал захмелевший «Моисей».

— Вероятно, в «Биржевую гостиницу» или в «Магнит», — отвечал Веревкин, с самым глупым видом прожевывая балык. — Нужно показать Сергею Александрычу нашу Ирбитскую ярмарку. Ведь это, батенька, картина, ежели разобрать. Оно кажется с первого разу, что все ярмарки похожи одна на другую, как две капли воды: Ирбит — та же матушка Нижегородская, только посыпанная сверху снежком, а выходит то, да не то. Да-с... Любопытное местечко этот Ирбит, поелику здесь сходятся вплотную русская Европа с русской Азией! Люблю я эту самую Сибирь: самая купеческая страна. Бар и крепостного права она не видала, и даже всероссийский лапоть не посмел перевалить через Урал... В сапожках ходит наша Сибирь! И народец только — сорвиголова.

Под разными предлогами Веревкин кое-как выжил «Моисея» из номера.

— Зачем вы его выдворили? — спрашивал Привалов.

— Да так... Черт его знает, что у него на уме; еще скандал устроит Катерине Ивановне, а нам с вами нужно ехать сейчас.

— Куда?

— Побываем везде... Стоит посмотреть здешний народец. Видите ли, мы сначала завернем в «Биржевую», а потом к Катерине Ивановне: там папахен процеживает кого-то третий день. Крепкий старичина, как зарядит — так и жарит ночей пять без просыпу, а иногда и всю неделю. Как выиграл — вторую неделю гулять... Вы не слыхали, какую шутку устроил Данилушка с Лепешкиным? Ха-ха... Приходят в одну гостиницу, там аквариум с живыми стерлядями; Данилушка в аквариум, купаться... конечно, все раздавил и за все заплатил.

Глава 79

Над Ирбитом стояла зимняя февральская ночь: все небо залито мириадами звезд; под полозьями звонко хрустел снег, точно кто

хватался за железо закоченевшими на морозе руками. Лавки были закрыты; на площади и по улицам от возов с товарами, купеческих фур И мелких лавчонок не было свободного местечка. Посредине улицы едва оставался свободный проезд для экипажей; дорога в обыкновенном смысле не существовала, а превратилась в узкое, избитое ямами корыто, до краев наполненное смятым грязно-бурого цвета снегом, походившим на неочищенный сахарный песок. Жизнь и движение по улицам продолжались и ночью: ползли бесконечные обозы, как разрозненные звенья какого-то чудовищного ярмарочного червя; сновали по всем направлениям извозчики, вихрем летели тройки и, как шакалы, там и сям прятались какие-то подозрительные тени.

— В «Биржевую»! — приказывал Веревкин извозчику, когда они вышли на подъезд.

Если днем все улицы были запружены народом, то теперь все эти тысячи людей сгрудились в домах, С улицы широкая ярмарочная волна хлынула под гостеприимные кровли. Везде виднелись огни; в окнах, сквозь ледяные узоры, мелькали неясные человече-

ские силуэты; из отворявшихся дверей вырывались белые клубы пара, вынося с собою смутный гул бушевавшего ярмарочного моря. Откуда-то доносились звуки визгливой музыки и обрывки пьяной горластой песни.

Около «Биржевой гостиницы» стояло много извозчиков, и постоянно подъезжали новые с седоками. В передней обдавало посетителей спертой трактирной атмосферой. Где-то щелкали бильярдные шары, и резкими взрывами неслись припевы дикой ярмарочной песни. Охрипшие и надсаженные голоса арфисток неприятно резали непривычное ухо; на каждом шагу так и обдавало ярмарочным кабаком с его убогой роскошью и беспросыпным, отчаянным пьянством. Привалову страстно захотелось вернуться, но Веревкин уже подхватил его под руку и насильно тащил по лестнице.

— Мы только посмотрим, — упрашивал он. — Ведь это море, настоящее море... Вон как Сибирь матушка поднялась: стоном стон!

— Шире берри... валяй!!.. — неистово выкрикивал какой-то захмелевший купчик, которого два лакея вели под руки.

— Кричи, братику: все любезное отечество помаленьку слопаешь, — шутил Веревкин, продираясь к отдельному столику сквозь густую толпу, окружавшую эстраду с арфистками.

Ах ты, береза,
Да ты ль, моя береза...

— разбитым, сиплым голосом начала примадонна, толстая, обрюзгшая девица, с птичьим носом. Хор подхватил, и все кругом точно застонало от пестрой волны закружившихся звуков. Какой-то пьяный купчик с осовелым лицом дико вскрикивал и расслабленно приседал к самому полу.

За столами собралась самая пестрая публика, какую только можно себе представить. Чистокровный крупичатый москвич братался с коренным сибиряком, одесский коммерсант с архангельским помором, остзейский барон с бухарцем, лупоглазый румын с китайцем и т. д. Эта безобразная капля ярмарочного моря в миниатюре представляла собой все наше многоязычное, разноплеменное и неизмеримо разнообразное отечество: север и юг,

запад и восток имели здесь своих типичных представителей, слившихся в одну пеструю мозаику. Здесь же толпились англичане, немцы, французы, американцы, итальянцы, армяне, евреи и тот специально ярмарочный люд, который трудно подвести под какую-нибудь определенную национальность. Есть такие люди, которых можно встретить только на ярмарках. Чем они занимаются, зачем приезжают на ярмарки — неразрешимая задача. Эти таинственные незнакомцы всегда чисто одеты и всегда щеголяют тяжелыми часовыми цепочками, массивными брелоками и дорогими кольцами.

— Привел господь в шестьдесят первый раз приехать на Ирбит, — говорил богобоязливо седой, благообразный старик из купцов старинного покроя; он высиживал свою пару чая с каким-то сомнительным господином поношенного аристократического склада. — В гору идет ярмарка-матушка... Умножается народ!

Привалов сначала почувствовал себя очень жутко в галдевшей пестрой толпе, но потом его глубоко заинтересовала эта развер-

нутая страничка чисто русской жизни. Здесь переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов тружеников, а эта вечно голодная стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша. Глядя на эти довольные лица, которые служили характерной вывеской крепко сколоченных и хорошо прилаженных к выгодному делу капиталов, кажется, ни на мгновение нельзя было сомневаться в том, «кому живется весело, вольготно на Руси»... Эта страшная сила клокотала и бурлила здесь, как вода в паровом котле: вот-вот она вырвется струей горячего пара и начнет ворочать миллионами колес, валов, шестерен и тысячами тысяч мудреных приводов.

— А вон и наши великие чудотворцы!.. — крикнул Веревкин, прерывая мысли Привалова.

— Кто?

— Да Лепешкин с Данилушкой... Вот уж про кого можно сказать, что два сапога — пара: другой такой не подобрать. Ха-ха!..

Лепешкин и Данилушка бродили из ком-

наты в комнату под ручку, как два брата. Они чувствовали себя здесь так же хорошо, как рыба в воде, и, видимо, только подыскивали случай устроить какую-нибудь механику.

— Ах, раздуй тебя горой... Миколя!.. — кричал Лепешкин, издали завидя Веревкина. — Ты как попал к нам? Да и Сергей Александрыч... Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...

Данилушка так и покатился шаром, распахнув свои короткие ручки. Его смуглое лицо лоснилось, а глаза совсем заплыли. Он облобызал Привалова.

— Весело? — спрашивал Привалов друзей.

— Ох, весело, Сергей Александрыч... — както вздохнул всей своей утробой Лепешкин. — Ты только погляди, какую мы здесь обедню отзваниваем: чистое пекло!.. И все свои, все по купечеству... Гуляй, душа!..

— Ну, чудотворцы, что вы тут поделываете? — допрашивал Веревкин стариков.

— Да чего нам делать-то? Известная наша музыка, Миколя; Данила даже двух арфисток вверх ногами поставил: одну за одну ногу схватил, другую за другую да обеих, как куриц, со всем потрохом и поднял... Ох-хо-хо!.. А

публика даже уж точно решилась: давай Данилу на руках качать. Ну, еще акварию раздавили!.. Вот только тятеньки твоего нет, некогда ему, а то мы и с молебном бы ярмарке отслужили. А тятеньке везет, на третий десяток перевалило.

Шампанское полилось рекой. Все пили... Привалов вдруг почувствовал себя необыкновенно легко, именно легко, точно разом стряхнул с себя все невзгоды. Ему хотелось пить и пить, пить без конца. Пьяный Данилушка теперь обнимал Привалова и хриплым шепотом говорил:

— Отчего ты к нам-то не заглянешь... а?

Привалов рассказал свой последний визит к Марье Степановне и свою встречу с Василием Назарычем в банке.

— Ох, напрасно, напрасно... — хрипел Данилушка, повертывая головой. — Старики ндравные, чего говорить, характерные, а только они тебя любят пуще родного детища... Верно тебе говорю!.. Может, слез об тебе было сколько пролито. А Василий-то Назарыч так и по ночам о тебе все вздыхает... Да. Напрасно, Сереженька, ты их обегаешь! Ей-бо-

гу... Ведь я тебя во каким махоньким на руках носил, еще при покойнике дедушке. Тоже и ты их любишь всех, Бахаревых-то, а вот тоже у тебя какой-то сумнительный характер.

Данилушка, как умел, рассказал последние новости о бахаревском доме: Костя все еще гостит и помирился со стариками; на приисках золото так и лезет — на настоящую россыпь натакались; Верочка совсем невеста, жениха ей беспременно надо, а то как бы грех не вышел какой, как с Надеждой Васильевной. Ох, и хороша же была эта Надежда Васильевна: красавица, умница, характером — шелк шелком, а вот, поди ты, ни за грош ни за копеечку пропала. По зиме-то Марья Степановна нарочно посылала на прииски к Лоскутову, разведать о Надежде-то Васильевне, что и как. Сказывали — слух пал, — дите у ней, старуха-то и всполошилась: хошь и прокляла сгоряча, а свою кровь как, поди, не жаль... Ну, ничего, все благополучно: и сама Надежда Васильевна и дите. — Привалов слушал Данилушку с опущенной головой; эти имена поднимали в нем старые воспоминания неиспытанного счастья, которые были так далеки от

его настоящего.

— Ну, нам пора, Сергей Александрыч, — заговорил Веревкин, поднимаясь с места. — Поедемте дальше...

— А ты куда, Миколя? — допытывался Лепешкин.

— Туда, куда тебе нельзя ехать.

— Ой, врешь... Ей-богу, врешь! Мы с Данилой тоже припрем к вам, только вот еще здесь расправим немножко косточки.

— Приезжайте, только «Моисея» не возите с собой.

— Ладно, ладно. И это знаем... Катерине Ивановне поклончик. Да вот чего, у меня тут кошевая стоит, у самого трактира — только кликни Барчука. Лихо домчит... Зверь, не ямщик.

— Хорошо, хорошо.

Привалов и Веревкин пошли к выходу, с трудом пробираясь сквозь толпу пьяного народа. Везде за столиками виднелись подгулявшие купчики, кутившие с арфистками. Нецензурная ругань, женский визг и пьяный хохот придавали картине самый разгульный, отчаянный характер.

К подъезду лихо шарахнулась знаменитая тройка Барчука. Кошевая была обита персидскими коврами; сам Барчук, совсем седой старик с косматой бородой и нависшими бровями, сидел на козлах, как ястреб.

— К Катерине Ивановне!.. — коротко отдал приказание Веревкин.

Барчук неистово гикнул, и тропка птицей полетела куда-то на окраину, минуя самые бойкие торговые места. Привалов залюбовался тройкой: коренник-иноходец вытянулся и, закинув голову, летел стрелой; пристяжные, свернувшись в кольцо, мели землю своими гривами. Валдайские колокольчики вздрагивали и замирали под высокой расписной дугой. У подъезда одного двухэтажного дома с освещенными окнами Барчук осадил тройку своей железной рукой, как мертвую; лошади даже присели на круп. На звонок выбежала горничная и внимательно осмотрела гостей.

— Свои, свои... — успокаивал ее Веревкин, вылезая из шубы. — Кто наверху?

— Московский барин да иркутские купцы.

В зале, отделанном с большой роскошью, гостей встретила сама Катерина Ивановна.

Она была сегодня в тяжелом бархатном платье, с брильянтовой бабочкой в золотистых волосах.

— Вы, кажется, незнакомы, — заговорил Веревкин, рекомендуя Привалова.

— Вот где мы наконец встретились с вами, — протянула Катерина Ивановна, рассматривая Привалова своими прищуренными близорукими глазами.

— Папахен где? — спрашивал Веревкин, заглядывая за портьеру следующей комнаты.

Катерина Ивановна только слегка кивнула своей красивой головкой и добродушно засмеялась. Привалов рассматривал эту даму полусвета, стараясь подыскать в ней родственные черты с той скромной старушкой, Павлой Ивановной, с которой он когда-то играл в преферанс у Бахаревых. Он, как сквозь сон, помнил маленькую Катю Колпакову, которая часто бывала в бахаревском доме, когда Привалов был еще гимназистом.

— Что вы на меня так смотрите? — с улыбкой спрашивала девушка, быстро поднимая на Привалова свои большие темно-серые глаза. — Я вас встречала, кажется, в клубе...

— Да, я тоже встречал вас.

Наступила тяжелая пауза. Катерина Ивановна, видимо, стеснялась; Привалову вдруг сделалось жаль этой красивой девушки, вырванной из семьи в качестве жертвы общественного темперамента. «Ведь она человек, такой же человек, как все другие, — подумал Привалов, невольно любуясь смутившейся красавицей. — Чем же хуже нас? Ее толкнула на эту дорогу нужда, а мы...» Катерина Ивановна поймала этот взгляд и как-то болезненно выпрямилась, бросив на Привалова нахальный, вызывающий взгляд.

В следующей комнате шла игра с той молчаливой торжественностью, с какой играют только завзятые игроки, игроки по призванию. На первом плане был Иван Яковлич, бледный, с мутным взглядом, с взъерошенными волосами; он держал банк. Привалову бросились в глаза его женские руки, в которых как-то сами собой тасовались карты. Напротив него стоял «московский барин». В нем сразу можно было узнать прежнего военного из какого-нибудь дорогого полка. Но красивое молодое лицо уже поблекло от бессонных но-

чей и превратностей жизни афериста. Человек пять иркутских купцов размещались вокруг стола в самых непринужденных позах, измятые лица и воспаленные глаза красноречиво говорили об их занятиях. На двух столах помещались вина и закуски. Когда Привалов вошел в комнату, на него никто даже не взглянул, так все были заняты главными действующими лицами, то есть Иваном Яковличем и «московским барином».

— Вот, пожалуйте сюда-с... — предупредительно шепнула какая-то темная личность, точно вынырнувшая из-под пола.

Это был типичный ярмарочный шакал, необходимая свита при каждом крупном игроке. Он униженно кланялся при каждом слове и постоянно улыбался принужденной льстивой улыбкой. Усадив Привалова, шакал смиренно отошел в темный уголок, где дремал на залитом вином стуле.

Обстановка комнаты придавала ей вид будуара: мягкая мебель, ковры, цветы. С потолка спускался розовый фонарь; на стене висело несколько картин с голыми красавицами. Оглядывая это гнездышко, Привалов заметил

какие-то ноги в одном сапоге, которые выставлялись из-под дивана.

— Это Иван Митрич... — доложил почтительным шепотом шакал, поймав взгляд Привалова. — Вторые сутки-с почивают. Сильно были не в себе.

Игра совершалась по-прежнему в самом торжественном молчании. Иван Яковлич держал банк, уверенными движениями бросая карты направо и налево. «Московский барин» равнодушно следил за его руками. У него убивали карту за картой. Около Ивана Яковлича, на зеленом столе, кучки золота и кредиток все увеличивались.

— На тридцать шестую тыщу перевалило... — шептались купцы.

Привалов поставил карту — ее убили, вторую — тоже, третью — тоже. Отсчитав шестьсот рублей, он отошел в сторону. Иван Яковлич только теперь его заметил и поклонился с какой-то больной улыбкой; у него на лбу выступали капли крупного пота, но руки продолжали двигаться так же бесстрастно, точно карты сами собой падали на стол.

— Эк их взяло... точно замерли! — ворчал

Nicolas Веревкин, пересаживаясь от игорного стола к закуске. — Папахен сегодня дьявольски режет...

К столу с винами подошел «московский барин»; он блуждающим взглядом посмотрел на Привалова и Веревкина, налил себе рюмку вина и, не выпив ее, пошатываясь вышел из комнаты.

— Этот совсем готов: finita la commedia,[37] — объяснял Nicolas, кивая головой на закрывшуюся за «московским барином» портьеру.

— Проигрался?

— Да... Тысяч двадцать пять просадил. Из московских жуланов. Каждую ярмарку приезжает обирать купцов, а нынче на папахена и наткнулся. Ну да ничего, еще успеет оправиться! Дураков на его долю еще много осталось...

Игра продолжалась. «Московского барина» сменил белобрысый купчик в «спинджаке» и брильянтовых запонках. Он выиграл три раза и начал повышать ставку.

— Ваня, обрежешься... — удерживал его черноволосый купец с косыми глазами.

«Спинджак» опять выиграл, вытер лицо

платком и отошел к закуске. Косоглазый купец занял его место и начал проигрывать карту за картой; каждый раз, вынимая деньги, он стучал козонками по столу и тяжело пыхтел. В гостиной послышался громкий голос и сиплый смех; через минуту из-за портьеры показалась громадная голова Данилушки. За ним в комнату вошла Катерина Ивановна под руку с Лепешкиным.

— Ну и утешил!! — кричал Лепешкин, тыкая Данилушку своим опухшим перстом. — Настоящее светопреставление!.. Только вы, Сергей Александрыч, уехали из «Биржевой», мы самую малость посидели и закатились в «Казань», а там народичку тьма-тьмущая. Сели к столику, спросили холодненького, а потом Данила и говорит: «Давай всю публику изутешим: я представлюсь сумасшедшим, а ты будто мой брат Ей-богу! Валяй...» Ох-хо-хо!.. Как он выворотит зенки да заорет не своим голосом — страсть! Народ весь к нам — шум, столарня... Я его руками держу, а он на стены кидается!.. Потом подвернулась какая то арфистка, а он на нее, потом по столам побежал, по посуде, через головы... «Кто такой?

Что попритчилось с мужиком?» Говорю, что мой брат, семипалатинский купец. А Данило забрался к арфисткам и давай на них кидаться визг, крик, страсти господни! Уж кое-как его изловили, тюменские купцы подвернулись, связали салфетками, а потом прямо в кошевую к Барчуку. Поблагодарил я их, говорю, — прямо к душевному доктору повезу... Ха-ха!.. Вот и привез!

— Да ведь тут у вас половина знакомых была в «Казани», — посмеивался Веревкин.

— Были и знакомые... Как не быть! Животики надорвали, хохочут над Данилушкой... Ох-хо-хо! Горе душам нашим... Вот как, матушка ты наша, Катерина Ивановна!.. Не гляди на нас, что мы старые да седые: молодому супротив нас еще не уколоть... Ей-богу!.. Только вот Ивана Яковлича не было, а то бы еще чище штуку сыграли.

Данилушка только ухмылялся и утирал свое бронзовое лицо платком. Купцы отошли от игорного стола и хохотали вместе с другими над его выдумкой. Лепешкин отправился играть и, повернув свою круглую седую голову, кричал:

— Катерина Ивановна, на твои счастки буду играть; все твое...

— Лучше так отдай мне деньги, все равно проиграешь, — отвечала Катерина Ивановна.

— Ишь ты, больно гладкая... Валяй, Иван Яковлич!..

Игра оживилась, куши начали расти, руки Ивана Яковлича задвигались быстрее. Привалов тоже принял участие в игре и вернул почти все проигранные давеча деньги. Белобрысый купец сидел с ним рядом и с азартом увеличивал ставки. Лепешкину везло, Привалов начал проигрывать и тоже увеличивал ставки. Он почувствовал какое-то неприятное озлобление к Ивану Яковличу и его двигавшимся белым рукам.

Игра разгоралась все сильней и сильней, точно в потухавший огонь подлили масла. К игрокам пристал и Данилушка. Кучки золота около Ивана Яковлича все увеличивались, а вместе с ними увеличивалось и росло у его партнеров желание отыграть эти кучки. Привалов поддался общему настроению и проигрывал карту за картой, с небольшими перерывами, когда около него на столе образовы-

валась на несколько минут тоже маленькая кучка из полуимпериалов. «Не может быть, чтобы Ивану Яковличу везло вечно», — думал пьяный Привалов, как думали другие. Дальше он начинал жалеть глупо проигранных денег и внутренно давал себе слово, что как только воротит проигрыш — сейчас же забастует. Но проигрыш все шел на увеличение, а не на уменьшение, и Привалов чувствовал какую-то жгучую потребность выиграть у Ивана Яковлича хоть часть проигранных денег. В этот момент он почувствовал, что его кто-то тянет легонько за рукав; он быстро обернулся и встретился глазами с Катериной Ивановной. Девушка звала его немым выразительным взглядом, и Привалов пошел за ней в гостиную.

— Я вам больше не дам играть... — тихо проговорила она, притворяя за собой дверь.

— Это почему?

— А так... Проиграете.

— Почему же именно я должен проиграть, а не ваш Иван Яковлич?

— Так... — коротко ответила Катерина Ивановна. — Во-первых, вы горячитесь, во-вто-

рых, Иван Яковлич всегда выигрывает...

— Однако Ломтев его разыграл?

— То совсем другое дело: нашла коса на камень...

Это непрошеное вмешательство сначала рассердило Привалова; он готов был наговорить Катерине Ивановне дерзостей, но потом как-то вдруг отмяк и улыбнулся.

— Действительно, я глупости делаю, — проговорил он. — Да и пьян порядочно.

— Скоро кататься поедем, холодком продует. Видели, как проигрался Шнегас?

— Это отставной военный?

— Да, да... Все спустил, а не из последних игроков. Я сейчас пошлю за лошадьми...

Привалов вернулся в игорную комнату, где дела принимали самый энергичный характер. Лепешкин и кричал и ругался, другие купцы тоже. В золотой кучке Ивана Яковлича виднелись чьи-то кольца и двое золотых часов; тут же валялась дорогая брильянтовая булавка.

— Так ты не хочешь мне на вексель поверить? — кричал Лепешкин, стуча кулаками по столу. — Мне?.. а?..

— Не могу… — коротко отвечал Иван Яковлич, опуская глаза.

— Так ты вот какие со мной поступки поступаешь?! Ах ты, дьявол этакий… черт!.. Да я тебя…

Неистовый старик только ринулся было через стол на Ивана Яковлича, чтобы доказать ему собственноручно, какой такой человек он есть, но Данилушка удержал его вовремя.

— Отстань, дурмень, — хрипел Данилушка, принимая друга в свои железные объятия. — Разве это порядок?

— Да я ему… Кто он? Да я… Пусти, ради Христа! Дьявол, пусти…

— Не пущу… не шеперься.

Этим эпизодом игра кончилась. Иван Яковлич бросил карты и проговорил:

— Больше не могу…

— А почему ты мне под вексель не поверил? — придрался к нему Лепешкин. — Я тебе верю, а ты мне не хочешь… а?

Иван Яковлич с улыбкой взял со стола горсть золота и проткнул руку к Лепешкину…

— Теперь сколько хочешь, а во время игры

не могу...

— Да мне теперь-то не надо, а зачем даве не давал?

— Да нельзя же, говорят тебе! — усовещивал Данилушка расходившегося приятеля. — Невозможно, и все тут... Везде так.

— Черти вы, вот что! — ругался Лепешкин, не зная, как ему сорвать свою обиду.

Под окном послышался звон бубенчиков, — это подкатили кошевые. Вся компания торопливо подкрепилась около винного столика и повалила в переднюю. Катерина Ивановна вышла после других в бархатной синей шубке на настоящем собольем меху. Кошевые в это время быстро нагружались вином и приличной снедью; в двух даже были поставлены ломберные столы. При громадной вместимости кошевых — в них можно было свободно посадить человек двенадцать — эти затеи были самым обыкновенным делом. В кошевой Барчука поместились Привалов, Иван Яковлич с Катериной Ивановной, Веревкин, Лепешкин и Данилушка.

— Ох, много еще места пустого... — скорбел Лепешкин.

— Я сама буду править, — вызвалась Катерина Ивановна. — Барчук, вожжи...

Девушка села на облучок, забрала в руки вожжи, и кошевая полетела за город. Началась самая бешеная скачка вперегонку, но тройку Барчука трудно было обогнать: лошади были на подбор. Другие кошевые скоро остались назади и ныряли по ухабам, как лодки в бурю. Ночь была звездная, но звезды уже блекли, и небо заволакивалось предутренней белесоватой мглой. Вздымаемый копытами снег покрыл всех серым налетом, а синяя шубка Катерины Ивановны совсем побелела. Соболья шапочка на голове у нее тоже превратилась в ком снега, но из-под нее вызывающе улыбалось залитое молодым румянцем девичье лицо, и лихорадочно горели глаза, как две темных звезды. Свежий воздух, вместо того чтобы освежить Привалова, подействовал как раз наоборот: он окончательно опьянел и чувствовал, как все у него летит перед глазами, — полосы снега, ухабы, какой-то лес, рожа Лепешкина, согнутая ястребиная фигура Барчука и волны выбившихся из-под собольей шапочки золотистых волос.

Вперед!.. Чтобы дух занимало и искры сыпались из глаз... Вон Барчук сам взял вожжи, вскрикнул каким-то нечеловеческим голосом, и все кругом пропало в резавшей лицо, слепившей глаза снежной пыли. Лошадей больше нельзя было рассмотреть, а кошевая точно сама собой неслась в снежную даль, как стрела, выпущенная из лука могучей рукой.

Дальнейшие впечатления для Привалова перемешались в самую невозможную мозаику, точно его несло куда-то вихрем. Тройки съехались, на привале все пили... Откуда-то появились пьяные женщины, которых обливали вином. Потом скакали обратно в город, причем Привалов даже сам несколько времени правил Барчуковой тройкой. Но все это происходило как во сне или в потемках. В каком-то большом доме, где играла музыка и было очень много женщин, все танцевали, а Лепешкин с Данилушкой откололи свою «руськую». Потом все собрались в большой комнате, где много пили, пели песни... У Привалова сильно кружилась голова, и он заметил, что Веревкин постоянно был возле него,

как нянька.

— Столы... составляй столы! — орали пьяные голоса.

Из столов, сдвинутых вместе, образовалось нечто вроде концертной эстрады, которую со всех сторон окружили шатавшиеся пьяные люди. Потом Привалов видел, как Веревкин вынес из соседней комнаты что-то белое и поставил это белое на помост. Собравшаяся публика дико взвыла, точно голодная стая волков, которой бросили кусок свежего мяса: на помосте в одной рубашке стояла Катерина Ивановна... Она что-то пела такое веселое и канканировала. Публика дико выла и несколько раз принималась ее качать на руках. Привалов аплодировал и кричал вместе с другими, и ему страстно хотелось поколотить этого Ивана Яковлича.

Потом вся эта картина исчезла, точно в тумане. Привалов помнил только, что он сидел очень близко к Катерине Ивановне, она беззаботно смеялась и разглаживала ему волосы своими белыми маленькими руками. Когда он проснулся, кругом было темно, на полу валялись какие-то спавшие люди, сломанная

мебель, пустые бутылки и т. д. Привалов лежал на диване, а рядом с ним, на поставленных к дивану стульях, богатырским сном спал Nicolas Веревкин. Голова у Привалова страшно трещала, хотелось пить, в груди что-то жгло. Привалов смутно припомнил, где он и что с ним, а потом опять забылся тяжелым пьяным сном. Когда он проснулся во второй раз, на полу комнаты сидели и лежали те же фигуры и опять пили.

— В театр пора, Сергей Александрыч!.. — крикнул кто-то. — Вставайте да поправляйтесь скорее.

— Какой театр... где?

— Да ведь десятый час на дворе... Ха-ха!.. — хохотал Веревкин, только что успевший умыться.

Короткий зимний день был вычеркнут из среды других дней, а наступившая ночь точно служила продолжением вчерашней.

Глава 80

Ярмарочный театр, кой-как сгороженный из бревен и досок, был битком набит пьяной ярмарочной публикой. Ложа, в которую попал Привалов, была одна из ближайших к

сцене. Из нее отлично можно было рассматривать как сцену, так и партер. Привалова особенно интересовал последний, тем более что пьеса шла уже в половине. В ложе теперь сидел он только с Веревкиным, а остальная компания нагружалась в буфете. Поместившись к барьеру, Привалов долго рассматривал ряды кресел и стульев. На них разместилось все, что было именитого на десятки тысяч верст: московские тузы по коммерции, сибирские промышленники, фабриканты, водочные короли, скупщики хлеба и сала, торговцы пушниной, краснорядцы и т. д. От каждого пахло десятками и сотнями тысяч. Было несколько миллионеров, преимущественно с сибирской стороны.

— Картина!.. — говорил Nicolas, мотая головой в партер. — Вот вам наша будущая буржуазия, которая тряхнет любезным отечеством по-своему. Силища, батенька, страшенная!

Веревкин был пьян еще со вчерашнего, и Привалов тоже чувствовал себя не особенно хорошо: ему было как-то все равно, и он смотрел кругом взглядом постороннего человека. В душе, там, глубоко, образовалась какая-то

особенная пустота, которая даже не мучила его: он только чувствовал себя частью этого громадного целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе с такой неудержимой силой... Вольготное существование только и возможно в этой форме, а все остальное должно фигурировать в пассивных ролях. Даже злобы к этому целому Привалов не находил в себе: оно являлось только колоссальным фактом, который был прав сам по себе, в силу своего существования.

— Искусство прогрессирует... — слышался в соседней ложе сдержанный полушепот, который заставил Привалова задрожать: это был голос Половодова. — Да, во всех отраслях человеческой деятельности, в силу основного принципа всякого прогрессивного движения, строго и последовательно совершается неизбежный процесс дифференцирования. Я сказал, что искусство прогрессирует, — действительно, наши отцы, например, сходили с ума от балета, а в наше время он совсем упал. И в самом деле, если взять все эти пуанты и тур-

де-форсы только сами по себе, получается какая-то глупая лошадиная дрессировка — и только. Восхищались балетными антраша, в которых Камарго делала четыре удара, Фанни Эльслер — пять, Тальони шесть, Гризи и Сангалли — семь, но вышла на сцену шансонетка — и все эти антраша пошли к черту! Да-с... Я именно с этой стороны понимаю прогресс...

В одной ложе с Половодовым сидел Давид и с почтительным вниманием выслушивал эти поучения; он теперь проходил ту высшую школу, которая отличает кровную золотую молодежь от обыкновенных смертных.

— Вот черт принес... — проворчал Веревкин, когда завидел Половодова.

Появление Половодова в театре взволновало Привалова так, что он снова опьянел. Все, что происходило дальше, было покрыто каким-то туманом. Он машинально смотрел на сцепу, где актеры казались куклами, на партер, на ложи, на раек. К чему? зачем он здесь? Куда ему бежать от всей этой ужасающей человеческой нескладицы, бежать от самого себя? Он сознавал себя именно той жалкой единицей, которая служит только материалом в

какой-то сильной творческой руке.

По окончании пьесы в ложу ввалилась остальная пьяная компания. Появление Ивана Яковлича произвело на публику заметное впечатление; сотни глаз смотрели на этого счастливца, о котором по ярмарке ходили баснословные рассказы. Типичная свита из Данилушки, Лепешкина и Nicolas Веревкина усиливала это впечатление. Эти богачи и миллионеры теперь завидовали какому-нибудь Ивану Яковличу, который на несколько времени сделался героем ярмарочного дня. Из лож и кресел на него смотрели с восторженным удивлением, как на победителя. Даже обыгранные им купчики разделяли это общее настроение; они были довольны уже тем, что проиграли не кому другому, а самому Ивану Яковличу.

— Папахен-то ведь и спать даже не ложился, — сообщал Привалову Nicolas Веревкин. — Пока мы спали, он работал... За восемьдесят тысяч перевалило... Да... Я советовал забастовать, так не хочет: хочет добить до ста.

Nicolas Веревкин назвал несколько громких имен в торговом мире, которые сегодня

жестоко поплатились за удовольствие сразиться с Иваном Яковличем.

Сам Иван Яковлич был таким же, как и всегда: так же нерешительно улыбался и выглядел по-прежнему каким-то подвижником.

— Сейчас будет Катя петь... — предупредил Nicolas Привалова, указывая на афише на фамилию m-lle Колпаковой, которая в антракте между пьесой и водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку.

— «Моисей» в театре, — шепнул Nicolas Веревкин отцу.

— Где?

— В первом ряду, налево...

— Ах, черт его возьми!.. Что же ты раньше не сказал? — смущенно заговорил Иван Яковлич. — Необходимо было предупредить Катю.

— Да он только что пришел, а сейчас занавес...

Иван Яковлич только пожал плечами и принялся в бинокль отыскивать «Моисея». В этот момент поднялся занавес, и публика встретила выбежавшую из-за кулис Катерину Ивановну неистовыми аплодисментами. Она была одета в короткое платьице французской

гризетки и бойко раскланивалась с публикой. Лепешкин и Данилушка, не довольствуясь обыкновенными аплодисментами, неистово стучали ногами в пол. Даже из ложи Половодова слышались аристократические шлепки затянутых в перчатки рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к груди, несколько раз весело кивнула в ложу Ивана Яковлича.

— Ох, горе душам нашим! — хрипел Лепешкин, отмахиваясь обеими руками. — Ай да Катерина Ивановна, всю публику за один раз изуважила...

Капельмейстер взмахнул своей палочкой, скрипки взвизгнули, где-то глухо замычала труба. Наклонившись всем корпусом вперед, Катерина Ивановна бойко пропела первый куплет; «Моисей» впился глазами, когда она привычным жестом собрала юбки веером и принялась канканировать. Сквозь смятое плиссе юбок выступали полные икры, и ясно обрисовывалось, точно облитое розовым трико, колено... Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпакова несколько раз повторила речитатив своей шансонетки, и ко-

гда публика принялась неистово ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу Ивана Яковлича.

— О-ох, матушка ты наша... — хрипел Лепешкин, наваливаясь своим брюхом на барьер ложи.

В этот момент в первом ряду кресел взвился белый дымок, и звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, схватившись одной рукой за левый бок, жалко присела у самой суфлерской будки, напрасно стараясь сохранить равновесие при помощи свободной руки. В первых рядах кресел происходила страшная суматоха: несколько человек крепко держали какого-то молодого человека за руки и за плечи, хотя он и не думал вырываться.

— Да ведь это «Моисей»!.. — крикнул кто-то.

— Он самый, — подтвердил Лепешкин. — Я своими глазами видел, как он к музыкантам подбежал да в Катерину Ивановну и запалил.

Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публику расходиться.

— Не уходите, — говорил Nicolas Веревкин Привалову, — мне же придется защищать

этого дурака... Авось свидетелем пригодитесь: пойдемте за кулисы.

На сцене без всякого толку суетились Лепешкин и Данилушка, а Иван Яковлич как-то растерянно старался приподнять лежавшую в обмороке девушку. На белом корсаже ее платья блестели струйки крови, обрызгавшей будку и помост. Притащили откуда-то заспанного старичка доктора, который как-то равнодушно проговорил:

— Помогите, господа, перенести больную в уборную куда-нибудь...

Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлич и еще несколько человек исполнили это желание с особенным усердием и даже помогли расшнуровать корсет. Доктор осмотрел рану, послушал сердце и флегматически проговорил:

— Так... пустяки. Впрочем, необходимо сначала привести ее в чувство.

— Подождите еще минуточку, пока приедет следователь, — упрашивал Веревкин Привалова.

Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, чтобы не встретиться с Половодо-

вым, который торопливо бежал в уборную вместе с Давидом. Теперь маленькая грязная и холодная уборная служила продолжением театральной сцены, и публика с такой же жадностью лезла смотреть на последнюю агонию умиравшей певицы, как давеча любовалась ее полными икрами и бесстыдными жестами.

Привалову пришлось ждать следователя почти час. Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда машинально наблюдал суетившуюся на сцене публику; кто тащил ведро воды, кто льду на тарелке, кто корпию. Доктор несколько раз выходил из уборной и только отмахивался рукой от сыпавшихся на него со всех сторон вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму... Вон Данилушка растерянно выскочил из уборной и трусцой побежал на авансцену. Привалов окликнул его, старик на мгновение остановился и, узнав Привалова, хрипло крикнул:

— Отходит...

— Кто отходит?

— Катерина Ивановна... она отходит!

Данилушка последние слова крикнул уже

из помещения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены; он торопливо перелез через барьер и без шапки побежал через пустой партер к выходу.

Привалов пошел в уборную, где царила мертвая тишина. Катерина Ивановна лежала на кровати, устроенной на скорую руку из старых декораций; лицо покрылось матовой бледностью, грудь поднималась судорожно, с предсмертными хрипами. Шутовской наряд был обрызган каплями крови. Какая-то добрая рука прикрыла ноги ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял Иван Яковлич, бледный как мертвец; у него по лицу катились крупные слезы.

Через пять минут все было кончено: на декорациях в театральном костюме лежала попрежнему прекрасная женщина, но теперь это бездушное тело не мог уже оскорбить ни один взгляд. Рука смерти наложила свою печать на безобразную человеческую оргию.

— Кончились, ваше высокоблагородие... — шепотом говорил какой-то полицейский, впуская в уборную следователя, точно он боялся кого-то разбудить.

Началось предварительное следствие с допросов обвиняемого и свидетелей. Было осмотрено место преступления и вещественные доказательства. Виктор Васильич отвечал на все вопросы твердо и уверенно, свидетели путались и перебивали друг друга. Привалов тоже был допрошен в числе других и опять ушел на сцену, чтобы подождать Nicolas Веревкина.

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч! — кричал Веревкин, выбегая из уборной через пять минут.

— Что случилось?

— Ваш брат здесь…

— Какой?

— Да Тит Привалов… Сейчас его допрашивает следователь. Идите скорее…

Перед следователем стоял молодой человек с бледным лицом и жгучими цыганскими глазами.

— Вы находились в числе других актеров ярмарочной труппы? — спрашивал следователь.

— Да… Я играл под фамилией Валова, — с иностранным акцентом отвечал молодой че-

ловек, встряхивая черными как смоль волосами.

— Та-ак-с... Так ваша настоящая фамилия Привалов?

— Да... Тит Привалов, один из владельцев Шат-ровских заводов.

Веревкин поймал владельца Шатровских заводов на сцене и снова допросил его, кто он и откуда, а потом отрекомендовал ему Привалова.

— Вот ваш родной брат, Сергей Александрыч Привалов.

Братья нерешительно подали руки друг другу и не знали, что им говорить.

— Вы теперь свободны? — спрашивал Nicolas молодого человека. — Поедемте с нами, а там уж познакомимся...

— Я с удовольствием... — замялся Тит Привалов, — только у меня нет своей шубы...

— Тогда мы сделаем так: вы, Сергей Александрыч, поедете домой и пошлете нам свою шубу, а мы подождем вас здесь...

— Кстати уж пошлите и верхнее платье, — просил Тит Привалов, — а то все, что на мне, — не мое, антрепренерское.

«Хорош гусь... — подумал даже Веревкин, привыкший к всевозможным превратностям фортуны. — Нет, его не нужно выпускать из рук, а то как раз улизнет... Нет, братику, шалишь, мы тебя не выпустим ни за какие коврижки!»

Привалов еще раз взглянул на своего братца, походившего на лакея из плохого ресторана, и отправился в свои номера, где не был ровно двое суток. В ожидании платья Веревкин успел выспросить у Тита Привалова всю подноготную: из пансиона Тидемана он бежал два года назад, потому что этот швейцарский профессор слишком часто прибегал к помощи своей ученой палки; затем он поступил акробатом в один странствующий цирк, с которым путешествовал по Европе, потом служил где-то камердинером, пока счастливая звезда не привела его куда-то в Западный край, где он и поступил в настоящую ярмарочную труппу. Своего платья у него не было, но антрепренер был так добр, что дал ему свою шубу доехать до Ирбита, а отсюда он уже надеялся как-нибудь пробраться в Узел.

— Ну, батенька, можно сказать, что вы

прошли хорошую школу... — говорил задумчиво Веревкин. — Что бы вам явиться к нам полгодом раньше?.. А вы какие роли играли в театре?

— Неодинаково, больше прислугу и в водевилях.

— Так-с... гм. Действительно, вышел водевиль: сам черт ничего не разберет!..

Глава 81

Привалов привез брата в Узел и отвел ему несколько комнат в доме, на прежней половине Ляховских. Молодой человек быстро освоился со своим новым положением и несколько времени служил предметом для городских толков и пересудов. Многие видели в нем жертву братской ненависти, от которой он чуть-чуть не погиб, если бы не спасся совершенно случайно. Даже смерть актрисы Колпаковой была вплетена в эту историю двух братьев; эта девушка поплатилась головой за свое слишком близкое знакомство с наследником приваловских миллионов.

Дома Привалов нашел то же, что и оставил. Впрочем, он и не рассчитывал ни на что другое, так как знал из самых достоверных

источников, что Зося имеет постоянные свидания с Половодовым в доме Заплатиной. Тит Привалов явился для Зоси новым развлечением — раз, как авантюрист, и второе, как герой узловского дня; она возила его по всему городу в своем экипаже и без конца готова была слушать его рассказы и анекдоты из парижской жизни, где он получил свое первоначальное воспитание, прежде чем попал к Тидеману. Хиония Алексеевна была тоже в восторге от этого забавного Titus, который говорил по-французски с настоящим парижским прононсом и привез с собой громадный выбор самых пикантных острот, каламбуров и просто французских словечек.

— Да, да... Что мы живем здесь, в этой трущобе, — говорила Хиония Алексеевна, покачивая головой. — Так и умрешь, ничего не видавши. Ах, Париж, Париж... Вот куда я желала бы попасть!.. И Александр Павлыч то же самое говорит, что не умрет спокойно, если не побывает в Париже.

Дела на мельнице у Привалова шли порядочно, хотя отсутствие хозяйского глаза было заметно во всем, несмотря на все усердие ста-

рика Нагибина. Привалов съездил на мельницу, прожил там с неделю и вернулся в Узел только по последнему зимнему пути. Но и в Узле и в Гарчиках прежнего Привалова больше не было, а был совсем другой человек, которого трудно было узнать: он не переставал пить после Ирбитской ярмарки. В Узле он все ночи проводил в игорных залах Общественного клуба, где начал играть по крупной в компании Ивана Яковлича. Этот последний вернулся с ярмарки с пустыми карманами.

— Как это вас угораздило? — спрашивал его Привалов.

— Да так... не выдержал характера: нужно было забастовать, а я все добивал до сотни тысяч, ну и продул все. Ведь раз совсем поехал из Ирбита, повез с собой девяносто тысяч с лишком, поехали меня провожать, да с первой же станции и заворотили назад... Нарвался на какого-то артиста. Ну, он меня и раздел до последней нитки. Удивительно счастливо играет бестия...

Однажды, когда Привалов особенно долго засиделся в клубе, Иван Яковлич отвел его в сторону и как-то смущенно проговорил:

— У Кати есть здесь мать... бедная старуха. Хотел я съездить к ней, нельзя ли чем помочь ей, да мне это неловко как-то сделать. Вот если бы вам побывать у нее. Ведь вы с ней видались у Бахаревых?

— Да. Пожалуй, я съезжу, — согласился Привалов.

— И «Моисей» просил тоже...

— Он где теперь?

— На поруках у отца живет пока, до суда.

— Хорошо, я это устрою.

Привалов даже обрадовался этому предложению: он чувствовал себя виновным пред старушкой Колпаковой, что до сих пор не навестил ее. Он отправился к ней на другой же день утром. Во дворе колпаковской развалины его встретил старик Полуянов, приветливо улыбнулся и с лукавым подмигиванием сообщил:

— А ведь мое дело на днях вырешится окончательно... Как же! Я уж говорил об этом Павле Ивановне. Вот и бумаги...

На сцену опять появился сверток разноцветных бумажек, бережно перевязанных розовой ленточкой.

Павла Ивановна даже испугалась, когда в передней увидела высокую фигуру Привалова. Старушка как-то разом вся съежилась и торопливо начала обдергивать на себе старенькое ситцевое платье.

— Не узнали, Павла Ивановна?

— Испугалась, Сергей Александрыч... Как ты, голубчик, постарел-то, и лицо-то совсем не твое стало. Уж извини меня, старуху: болтаю, что на ум взбредет.

— А я зашел навестить вас, давно не видал.

— Ох, давно, голубчик.

Старушка засуетилась со своим самоваром, разговаривая с гостем из-за перегородки.

— Вот уж сорочины скоро, как Катю мою застрелили, — заговорила Павла Ивановна, появляясь опять в комнате. — Панихиды по ней служу, да вот собираюсь как-нибудь летом съездить к ней на могилку поплакать... Как жива-то была, сердилась я на нее, а теперь вот жаль! Вспомнишь, и горько сделается, поплачешь. А все-таки я благодарю бога, что он не забыл ее: прибрал от сраму да от позору.

Привалова неприятно поразили эти слова.

— Вы очень строго судите свою дочь, — заметил он.

— Нельзя, голубчик, нельзя... Теперь вон у Бахаревых какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. Виктор Васильич куда теперь? Ох-хо-хо. Разве этот вот Веревкин выправит его — не выправит... Марья Степановна и глазыньки все выплакала из-за деток-то! У меня одна была Катя — одно и горе мое, а погорюй-ка с каждым-то детищем...

— А Надежда Васильевна где теперь?

Павла Ивановна недоверчиво посмотрела на Привалова прищуренными глазами.

— А разве доктор-то, Борис-то Григорьич, ничего тебе не говорил?

— Я его не видал уже с месяц...

— Надежда Васильевна живет теперь в Узле, уж вторая неделя пошла. Да.

— Как в Узле?

— Да ты в самом деле ничего не знаешь? Приехала она сюда вместе с этим... ну, с мужем, по-нынешнему. Болен он, ну, муж-то этот.

— Лоскутов?

— Ну, он, выходит. У доктора и живут.

— А Марья Степановна знает об этом?

— Знает-то знает, да только слышать ничего не хочет...

Старушка махнула рукой и заплакала. Для чужого горя у нее еще были слезы...

— Ведь Надежда-то Васильевна была у меня, — рассказывала Павла Ивановна, вытирая слезы. — Как же, не забыла старухи... Как тогда услыхала о моей-то Кате, так сейчас ко мне пришла. Из себя-то постарше выглядит, а такая красивая девушка... ну, по-вашему, дама. Я еще полюбовалась ею и даже сказала, а она как покраснеет вся. Об отце-то тоскует, говорит... Спрашивает, как и что у них в дому... Ну, я все и рассказала. Про тебя тоже спрашивала, как живешь, да я ничего не сказала: сама не знаю.

— Про мою жизнь, Павла Ивановна, кажется, все знают — не секрет... Шила в мешке не утаишь.

— Ох, Сереженька, голубчик, много болтают, да только верить-то не хочется...

Старушка покачала головой и, взглянув на Привалова своими прищуренными глазами,

проговорила:

— А ты на меня не рассердишься, голубчик?

— Нет, говорите.

— Не знаю, правду ли болтают: будто ты вином этим стал заниматься и в карты играешь... Брось ты, ради Христа, эту всю пакость!

Привалов улыбнулся.

— Нет, Павла Ивановна, мне так легче... — проговорил он, поднимаясь с места. — Тяжело мне...

— Ох, знаю, знаю... Басурманка твоя все мутит.

— Нет, я на жену не жалуюсь: сам виноват...

Они простились. Расчувствовавшаяся старушка даже перекрестила Привалова, а когда он намекнул ей, зачем собственно приходил, она отрицательно замахала руками и с грустной улыбкой проговорила:

— Нет, ничего мне не нужно, голубчик... Да и какая необходимость у старухи: богу на свечку — и только. Спасибо на добром слове да на том, что не забыл меня. А ты сам-то попомни лучше мое-то слово...

Она здесь, в Узле, — вот о чем думал Привалов, когда возвращался от Павлы Ивановны. А он до сих пор не знал об этом!.. Доктор не показывается и, видимо, избегает встречаться с ним. Ну, это его дело. В Привалове со страшной силой вспыхнуло желание увидать Надежду Васильевну, увидать хотя издали... Узнает она его или нет? Может быть, отвернется, как от пьяницы и картежника, которого даже бог забыл, как выразилась бы Павла Ивановна?

«Умереть...» — мелькнуло в голове Привалова. Да, это было бы хорошо: все расчеты с жизнью покончить разом и разом освободиться от всех тяжелых воспоминаний и неприятностей.

Для кого и для чего он теперь будет жить? Тянуть изо дня в день, как тянут другие, — это слишком скучная вещь, для которой не стоило трудиться. Даже то дело, для которого он столько работал, теперь как-то начинало терять интерес в его глазах. Он припомнил Ирбитскую ярмарку, где лицом к лицу видел ту страшную силу, с которой хотел бороться. Его идея в этом стройном и могучем хоре себялю-

бивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости жалко терялась, как последний крик утопающего.

На следующий день Привалов не мог преодолеть искушение и отправился в ту улицу, где жил доктор. Он сначала хотел только издали взглянуть на тот дом, где теперь жила Надежда Васильевна, и сейчас же вернуться домой. Может быть, где-нибудь в окне мелькнет знакомое лицо... Отыскать квартиру доктора было не особенно трудно. Он жил по ту сторону пруда, в старой Карманной улице, в небольшом новом флигельке, выходившем на улицу четырьмя окнами. У подъезда лежала пестрая собака доктора, которую ему подарила Зося. Привалов с замирающим сердцем шел по деревянному тротуару, не спуская глаз с заветного уголка. Вот и подъезд, вот в окнах зелеными лапами смотрятся агавы... Не давая самому себе отчета, Привалов позвонил и сейчас же хотел убежать, но в этот момент дверь скрипнула и послышался знакомый голос:

— Кто там?

Дверь распахнулась, и на пороге показалась сама Надежда Васильевна, в простеньком коричневом платье, с серой шалью на плечах. Она мельком взглянула на Привалова и только хотела сказать, что доктора нет дома, как остановилась и, с улыбкой протягивая руку, проговорила:

— Сергей Александрыч!.. Вот приятная неожиданность! А доктор говорит, что вы после ярмарки прямо уехали на свою мельницу.

— Да, я был там и только недавно вернулся.

— Как я рада видеть вас... — торопливо говорила Надежда Васильевна, пока Привалов раздевался в передней. — Максим уж несколько раз спрашивал о вас... Мы пока остановились у доктора. Думали прожить несколько дней, а теперь уж идет вторая неделя. Вот сюда, Сергей Александрыч.

В маленькой гостиной Привалову показалось хорошо, как в раю. На Надежду Васильевну он боялся взглянуть, точно от одного этого взгляда могло рассеяться все обаяние этой встречи.

— А ведь как давно мы не видались с ва-

ми, — говорила Надежда Васильевна, усаживая гостя на ближайшее кресло.

Она показалась Привалову и выше и полнее. Но лицо оставалось таким же, с оттенком той строгой красоты, которая смягчалась только бахаревской улыбкой. Серые глаза смотрели мягче и немного грустно, точно в их глубине залегла какая-то тень. Держала она себя по-прежнему просто, по-дружески, с той откровенностью, какая обезоруживает всякий дурной помысел, всякое дурное желание.

Надежда Васильевна в несколько минут успела рассказать о своей жизни на приисках, где ей было так хорошо, хотя иногда начинало неудержимо тянуть в город, к родным. Она могла бы назвать себя совсем счастливой, если бы не здоровье Максима, которое ее очень беспокоит, хотя доктор, как все доктора, старается убедить ее в полной безопасности. Потом она рассказывала о своих отношениях к отцу и матери, о Косте, который по последнему зимнему пути отправился в Восточную Сибирь, на заводы.

— Вы разве не видали Костю перед отъездом? — спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет... Да нам тяжело было бы встретиться еще раз, — откровенно признавался Привалов. — Нас отчасти связывали только заводы, а теперь порвалась и эта последняя связь.

Чтобы замять этот неприятный разговор, Надежда Васильевна стала расспрашивать Привалова о его мельнице и хлебной торговле. Ее так интересовало это предприятие, хотя от Кости о нем она ничего никогда не могла узнать: ведь он с самого начала был против мельницы, как и отец. Привалов одушевился и подробно рассказал все, что было им сделано и какие успехи были получены; он не скрывал от Надежды Васильевны тех неудач и разочарований, какие выступали по мере ближайшего знакомства с делом.

— Могу пожалеть только об одном, что доктор ранее почему-то не хотел сказать, что вы здесь, — проговорила Надежда Васильевна. — Ведь не мог же он не знать этого, когда бывает в вашем доме каждый день... Мы на днях, вероятно, уезжаем отсюда.

— Я вам объясню, Надежда Васильевна, почему доктор скрывал от вас мое появление здесь, — заговорил Привалов, опуская гла-

за. — Он боялся, что я могу явиться к вам не совсем в приличном виде... Доктор так добр, что хотел, хотя на время, скрыть мои недостатки от вас...

— Сергей Александрыч, вы говорите такие страшные вещи... — смущенно заговорила Надежда Васильевна, делая большие глаза.

Она с каким-то страхом взглянула на Привалова, который теперь упорно и как-то болезненно-пристально смотрел на нее. В этом добром, характерном лице стояло столько муки и затаенного горя.

— Это длинная история, Надежда Васильевна... Если хотите, я могу вам рассказать, как дошел до своего настоящего положения.

Привалова вдруг охватило страстное желание рассказать — нет, исповедаться ей во всем, никому больше, а только ей одной. Все другие могли видеть одну только внешность, а ей он откроет свою душу; пусть она казнит его своим презрением. Сейчас и здесь же. Ему будет легче...

— Когда я шел сюда, я не думал, что увижу вас, — глухо заговорил Привалов, опять опуская глаза. — Я даже боялся этой встречи, хотя

и желал ее... Скажу больше: когда я шел сюда, я думал о смерти, о своей смерти. Как хорошо вовремя умереть, Надежда Васильевна, и как тяжело сознавать, что еще молод, силен и не можешь рассчитывать на этот спасительный исход. На мысль о смерти меня навела трагическая история Кати Колпаковой... Она умерла на моих глазах, и я позавидовал ей, когда увидел ее мертвой. Это была замечательно красивая девушка, а мертвая она была просто идеально хороша.

В своей исповеди Привалов рассказал все, что произошло с ним после роковой сцены в саду, кончая Ирбитской ярмаркой и своим визитом к Павле Ивановне. Он очертил всех действующих лиц этой сложной истории, свою домашнюю обстановку и свое постепенное падение, быстрое по внешности, но вполне последовательное по внутреннему содержанию. Проследить такое падение в самом себе крайне трудно, то есть отдельные его ступени, как трудно определить высоту горы при спуске с нее. Недостает глазомера, той перспективы, которая давала бы возможность сравнения. Мысль болтается в пустом

пространстве, где ей не за что ухватиться.

— Вы простите меня за то, что я слишком много говорю о самом себе, — говорил Привалов останавливаясь. — Никому и ничего я не говорил до сих пор и не скажу больше... Мне случалось встречать много очень маленьких людей, которые вечно ко всем пристают со своим «я», — это очень скучная и глупая история. Но вы выслушайте меня до конца; мне слишком тяжело, больше чем тяжело.

Возбужденное состояние Привалова передалось ей, и она чувствовала, как холодеет вся. Несколько раз она хотела подняться с места и убежать, но какая-то сила удерживала ее, и она опять желала выслушать всю эту исповедь до конца, хотя именно на это не имела никакого права. Зачем он рассказывал все это именно ей и зачем именно в такой форме?

— Вы обратите внимание на отсутствие последовательности в отдельных действиях, — говорил Привалов. — Все идет скачками... Целое приходится восстанавливать по разрозненным звеньям и обрывкам. Я часто думал об этой непоследовательности, которую сознавал и которая так давила меня... Но,

чтобы понять всего человека, нужно взять его в целом, не с одним только его личным прошедшим, а со всей совокупностью унаследованных им особенностей и характерных признаков, которые гнездятся в его крови. Вот если рассматривать с этой точки зрения все те факты, о которых я сейчас рассказываю, тогда вся картина освещается вполне... Пред вами во весь рост встает типичный представитель выродившейся семьи, которого не могут спасти самые лучшие стремления. Именно с этой точки зрения смотрит на меня доктор, если я не ошибаюсь.

Дальше Привалов рассказывал о том, как колебалась его вера даже в собственную идею и в свое дело. Если его личная жизнь не сложилась, то он мог бы найти некоторый суррогат счастья в выполнении своей идеи. Но для него и этот выход делался сомнительным.

— Я не согласна с вами в этом случае, — заговорила Надежда Васильевна. — Вы смотрите теперь на все слишком пристрастно...

Надежда Васильевна заговорила на эту тему, глаза у нее блестели, а на лице выступил яркий румянец. Она старалась убедить При-

валова, что он напрасно отчаивается в успехах своей идеи, и даже повторила те его мысли, которые он когда-то высказывал еще в Шатровском заводе. Привалов слушал эту горячую прочувствованную речь со смешанным чувством удивления и тяжелого уныния. В Надежде Васильевне теперь говорила практическая отцовская жилка, и вместе с тем она увлекалась грандиозной картиной неравной, отчаянной борьбы с подавляющим своим численным составом и средствами неприятелем. Именно такая борьба была полна смысла, и для нее стоило жить на свете. Стыдно и позорно опускать руки именно в тот момент, когда дело уже поставлено и остается только его развивать.

— Признаться сказать, я гораздо больше ожидала от вас, Сергей Александрыч, — кончила она.

В исповеди Привалова чего-то недоставало, чувствовался заметный пробел, — Надежда Васильевна это понимала но не решалась поставить вопрос прямо. У Привалова уже вертелось на языке роковое признание в своей погибшей, никому не известной любви, но

он преодолел себя и удержался.

— А вот и Максим... — проговорила Надежда Васильевна, указывая головой на окно...

По деревянному тротуару действительно шел Лоскутов. Привалов не узнал его в первую минуту, хотя по внешности он мало изменился. В этой характерной фигуре теперь сказывалось какое-то глубокое душевное перерождение; это было заметно по рассеянному выражению лица и особенно по глазам, потерявшим свою магическую притягательную силу. Привалова Лоскутов узнал не вдруг и долго пристально всматривался в него, пока проговорил:

— Да, да... теперь вспомнил: Привалов, Сергей Александрыч.

«У этого тоже недостает какого-то винтика в голове», — подумал Привалов, припоминая слова покойного Ляховского.

Они разговорились принужденным разговором чужих людей. Надежде Васильевне было вдвойне тяжело оставаться свидетельницей этой натянутой беседы: одного она слишком любила, а другого жалела. У нее готовы были навернуться слезы на глазах при одной

мысли, что еще так недавно эти люди были полны жизни и энергии.

Привалов начал прощаться, Лоскутов машинально протянул ему руку и остался в своем кресле с таким лицом, точно напрасно старался что-то припомнить.

— Я буду вас ждать, — говорила Надежда Васильевна, когда провожала Привалова в переднюю. — Мы еще о многом переговорим с вами... Да? Видели, в каком положении бедный Максим... У него какое-то мудреное нервное расстройство, и я часто сама не узнаю его; совсем другой человек.

— Давно это с ним?

— С середины зимы... Сначала жаловался на головные боли, потом появилась какая-то слабость, апатия, галлюцинации. Доктор лечит его электричеством... Так я буду надеяться, что вы не позабудете нас.

Глава 82

Дело Виктора Васильича по убийству артистки Колпаковой должно было разбираться в летнюю сессию узловского окружного суда. Защитником был Nicolas Веревкин. Весной, пока Виктор Васильич жил на пору-

ках у отца, Веревкин бывал в старом бахаревском доме почти каждый день. Сначала его встретили там очень сухо, а старый Лука фукал на него, как старый кот. Сам Василий Назарыч отнесся к Веревкину немного подозрительно и с оттенком легкой иронии. Зато Марья Степановна приняла «Витенькина защитника» с распростертыми объятиями и не знала, каким вареньем его угощать. Но в течение какого-нибудь месяца Веревкин сделался почти своим человеком в бахаревском доме, и прежде всех сдался на капитуляцию старый Лука. Веревкин не проходил по бахаревской передней без того, чтобы не кинуть старику какую-нибудь колючую шуточку вместе с красным словечком. Луке перепадали кредитки, а известно, что человеческое сердце не камень.

Действительно, познакомившись с Веревкиным ближе, Василий Назарыч скоро оценил эту широкую натуру и даже привык к нему. Притом Веревкин знал до тонкостей все дело по приваловской опеке, и старик мог говорить с ним о Шатровских заводах сколько душе угодно. Крепок был старик Бахарев на

новые знакомства вообще, а против фамилии Веревкиных был даже предубежден, считая их самыми вздорными дворянскими выродками; но к Nicolas Веревкину сколько он ни присматривался — отличный парень выходил, как его ни поверни. Да и услуга-мужик; только еще Василий Назарыч успеет о чем заикнуться, он уж готов. И не то чтобы выслуживался или заискивал перед богатым мужиком, как это делают другие, нет, уж натура у этого Веревкина была такая. Раз, чтобы отблагодарить Веревкина за какие-то хлопоты, Василий Назарыч пригласил его обедать. Против такой короткости Марья Степановна сильно восстала и не хотела выходить сама к обеду и Верочку не хотела показывать.

— Уж больно про него много нехорошего говорят: и пьяница-то, и картежник, и обирало, — говорила Марья Степановна, защищая свой семейный очаг от вторжения иноплеменных. — Конечно, Витю он защищает, так уж я его всячески ублаготворю... Только это все другое, а не обед.

— Ну, матушка, трудно нынче людей разбирать, особенно по чужим-то разговорам. А

мне Николай Иваныч тем поглянулся, что простой он человек... Да. Не съест нас...

— Может, он и в самом деле не такой, как говорят, — соглашалась Марья Степановна. — Как-то не примениться совсем...

— Вот то-то и есть: стары мы с тобой стали, Марья Степановна, — грустно проговорил Василий Назарыч. — А Николай Иваныч все-таки будет обедать...

Для Марьи Степановны обеды и ужины всегда являлись чем-то особенно важным, и в ее уме около накрытого стола сгруппировывалась масса разных примет и поверий. Вероч-ка разделяла все воззрения матери и с ужасом думала об обеде, на котором будет присутствовать Веревкин, этот сорвиголова из «Витенькиных приятелей». Лука и Досифея тоже с немалым страхом ждали рокового обеда. Но, как это иногда случается, обед прошел самым обыкновенным образом, почти незаметно. Веревкин все время вел с Василием Назарычем серьезный разговор и вообще держал себя с большим тактом; Марье Степановне он понравился тем, что знал толк в кушаньях и оценил по достоинствам каждое. Это

польстило старухе, и она даже залюбовалась, с каким завидным аппетитом Николай Иваныч смаковал произведения Досифеи. На Верочку, рдевшую за столом как маков цвет, Веревкин даже не взглянул ни одного лишнего раза.

В конце зимы Василий Назарыч уехал на свои прииски, и в бахаревском доме наступила особенно тяжелая пустота: не было Надежды Васильевны, не было Кости. Виктор Васильич притих, — вообще царило очень невеселое настроение. Процесс Виктора Васильича приближался, и Веревкин время от времени привозил каких-то свидетелей и все допрашивал Виктора Васильича. Раз, когда Веревкин хотел ехать домой, Виктор Васильич остановил его:

— Ты куда это? Пойдем к маменьке, она давно хочет сразиться с тобой в картишки... Старухи теперь в преферанс играют с Верочкой. Ну же, пойдем...

Веревкин немного смутился, но, если желает Марья Степановна, он ничего не имеет против преферанса.

— Она уж несколько раз просила меня

привести тебя, — врал Виктор Васильич, которому хотелось устроить маленькое домашнее представление и вспугнуть старух.

Понятно, какой переполох произвело неожиданное появление Веревкина во внутренних покоях самой Марьи Степановны, которая даже побледнела от страха и посадила Верочку рядом с собой, точно наседка, которая прячет от ястреба своего цыпленка под крылом. У Павлы Ивановны сыпались карты из рук — самый скверный признак, как это известно всем игрокам.

— Вот, мама, я привел к тебе Николая Иваныча, с которым ты хотела сразиться в преферанс, — рекомендовал Виктор Васильич своего друга. — Он отлично играет...

Старухи поломались, а потом сели за карты. Виктор Васильич примостился было к ним, но скоро был изгнан с позором, потому что имел скверную привычку воровать взятки. В течение какого-нибудь получаса игра загорелась, и Веревкин совсем обворожил старух, так что сама степенная Марья Степановна едва сдерживала смех, когда Николай Иваныч только открывал рот. Эта интересная иг-

ра собрала в коридоре «целую публику»: в замочную скважину попеременно смотрели Лука, Досифея и Верочка. «Сама играла с аблакатом» — это что-нибудь значило!

— Да не оказия ли... — удивлялся Лука, хлопая себя по ляжкам. — Совсем обошел старух-то, прах его побери!..

Игра продолжалась часа три, так что Марья Степановна даже испугалась, когда взглянула на часы.

— Ужо как-нибудь в другой раз доиграем, — проговорила она, поднимаясь из-за стола.

Марья Степановна сейчас же спохватилась, но глупое слово вылетело — не поймаешь.

— Тьфу ты, греховодник! — отплевывалась Марья Степановна, когда Веревкин ушел. — И зачем это я сболтнула про другой раз?..

— А он, право, ничего... — добродушно заявляла Павла Ивановна.

— Какой он смешной... — вставила свое слово Верочка.

— Не твое дело! — строго оборвала Марья Степановна. — Разве девичье дело мужчин-то

разбирать?.. Все они под одну стать.

Таким образом Веревкин проник до гостиной Марьи Степановны, где частенько составлялись самые веселые преферансы, доставлявшие старушкам большое удовольствие. Он являлся как-то случайно и всегда умел уезжать вовремя. Когда Веревкина не было дня три, старушки начинали скучать и даже ссорились за картами.

Дело Виктора Васильича приближалось к развязке; оно было назначено в майскую сессию. Веревкин употребил все, что от него зависело, чтобы обставить дело настоящим образом. В день суда, когда Веревкин повез Виктора Васильича на скамью подсудимых, Марья Степановна горько заплакала, несколько раз благословляла своего блудного сына и даже перекрестила самого Николая Иваныча.

— Бог не без милости, Марья Степановна, — утешал Веревкин плакавшую старуху.

Марья Степановна только махнула рукой. Досифея тоже долго крестила широким раскольничьим крестом уезжавших, а Лука собственной особой отправился в суд.

Зал узловского окружного суда был битком

набит самой избранной публикой, всегда жадной до интересных процессов на пикантной подкладке. Весь узловский бомонд и купечество с замирающим сердцем встретили Виктора Васильича, когда он вошел на «подсудимую скамью», как выражался Лука. В качестве свидетелей фигурировали все свои люди, и в числе других братья Приваловы, которые еще раз привлекли на себя общее внимание. Веревкин особенно был озабочен составом присяжных заседателей и боялся как огня, чтобы не попали чиновники: они не пощадили бы, а вот купцы да мужички — совсем другое дело, особенно последние.

Пока шел допрос свидетелей и говорил свою казенную речь прокурор, публика оставалась равнодушной, дожидаясь зашиты. Веревкин не обманул ожиданий и действительно сказал блестящую речь, в которой со своим неизменным остроумием разбил основные положения обвинения, по ниточке разобрал свидетельские показания и мастерски, смелой рукой набросал нравственную физиономию своего клиента. Это была нервная, впечатлительная, порывистая натура, бога-

тая природными дарованиями, но лишенная правильной шлифовки. Доверчивый и простодушный, полный юношеских сил, молодой Бахарев встречается с опытной куртизанкой Колпаковой, которая зараз умела вести несколько любовных интриг; понятно, что произошло от такой встречи; доверчивый, пылкий юноша не мог перенести раскрывшейся перед ним картины позорного разврата и в минуту крайнего возбуждения, сам не отдавая себе отчета, сделал роковой выстрел. Веревкин с замечательным искусством разобрал все последовательные стадии этой любви и на каждом шагу рядом свидетельских показаний выяснял характерные роли главных действующих лиц.

— Я не выставляю подсудимого каким-то идеальным человеком, — говорил Веревкин. — Нет, это самый обыкновенный смертный, не чуждый общих слабостей... Но он попал в скверную историю, которая походила на игру кошки с мышкой. Будь на месте Колпаковой другая женщина, тогда Бахарев не сидел бы на скамье подсудимых! Вот главная мысль, которая должна лечь в основание вер-

дикта присяжных. Закон карает злую волю и бесповоротную испорченность, а здесь мы имеем дело с несчастным случаем, от которого никто не застрахован.

Эта речь произвела сильное впечатление на публику и присяжных. Последнее слово подсудимого, который откровенно рассказал весь ход дела, решило его участь: присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Когда публика начала поздравлять Виктора Васильича и Веревкина, Привалов отвел последнего в сторону и сказал:

— Зачем вы так забросали грязью Катерину Ивановну?

— Э, батенька, что поделаешь: ее не вернуть, а «Моисея» нужно было выправить, — добродушно ответил Веревкин и прибавил каким-то смущенным тоном: — А я вот что скажу вам, голубчик... Сегодня я лез из кожи больше для себя, чем для «Моисея».

— Именно?

— В семена хочу пойти...

— Ничего не понимаю!

— Женюсь, батенька... Уж предложение сделал Воре Васильевне и с Марьей Степанов-

ной переговорил. Старуха обещала, если выправлю «Моисея». Теперь дело за Васильем Назарычем. Надоело болтаться. Пора быть бычку на веревочке. Оно и необходимо, ежели разобрать... Только вот побаиваюсь старика, как бы он не заворотил мне оглобли.

Привалов от души пожелал счастья своему бывшему поверенному и Верочке. Это зарождавшееся молодое счастье отозвалось в его душе глухой болью...

Глава 83

Здоровье Лоскутова не поправлялось, а, напротив, делалось хуже. Вместе с весной открывались работы на приисках, но Лоскутову нечего было и думать самому ехать туда; при помощи Веревкина был приискан подходящий арендатор, которому прииски и были сданы на год. Лоскутовы продолжали оставаться в Узле.

— Для Максима необходима спокойная жизнь и такие развлечения... как это вам сказать... Одним словом, чисто деревенские, — объяснил доктор Надежде Васильевне. — Покой, хорошее питание, прогулки, умеренная физическая работа — вот что ему необходимо

вместе с деревенским воздухом и подходящим обществом.

— Куда же нам ехать, Борис Григорьич?

— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и пришел к тому убеждению, что самое лучшее будет вам отправиться в Гарчики, на мельницу. У Привалова там есть хорошенький флигелек, в котором вы отлично можете провести лето. Если хотите, я переговорю с Сергеем Александрычем.

— Позвольте, доктор, мне немного подумать... — уклончиво ответила Надежда Васильевна.

Собственно, ей давно хотелось куда-нибудь подальше уехать из Узла, где постоянно приходилось наталкиваться на тяжелые воспоминания, но когда доктор заговорил о приваловской мельнице, Надежде Васильевне почему-то не хотелось воспользоваться этим предложением, хотя она ни на мгновение не сомневалась в том, что Привалов с удовольствием уступит им свой флигелек. Почему ей не хотелось ехать в Гарчики — Надежда Васильевна сама не могла дать себе обстоятельного ответа, а просто у нее, как говорится, не ле-

жала душа к мельнице. Привалов бывал у них довольно часто, при посторонних молчал, а когда оставался один с Надеждой Васильевной, начинал говорить с полной откровенностью, как с сестрой. Эту неровность Надежда Васильевна объясняла ненормальной жизнью Привалова, который по-прежнему проводил ночи в клубе в самом сомнительном обществе и раза два являлся к Лоскутовым сильно навеселе. Последнее обстоятельство особенно сильно огорчало Надежду Васильевну, и раз она серьезно спросила Привалова:

— Разве так трудно расстаться с этой дурной привычкой? Ведь вы можете не пить, как раньше...

Привалов поднял глаза на Надежду Васильевну, несколько времени молчал, а потом проговорил:

— К чему? Мне это доставляет удовольствие, я забываюсь на время...

— А если я вас об этом буду просить, Сергей Александрыч? Если вы не хотите удержаться для себя, то сделайте это для меня...

— Вы это серьезно говорите?

— Да.

— Хорошо... Только трезвый я не могу говорить с вами по душе, откровенно, а теперь это для меня единственное спасение. Я часто упрекаю себя за свою болтовню, но мне так тяжело...

Надежда Васильевна от души жалела Привалова и не умела ему ничем помочь. Она часто думала об этом странном, непонятном человеке и нередко приходила к самым противоположным выводам. Несомненным было только то, что Привалов, несмотря на все свои недостатки и ошибки, оставался честной и прямой натурой. Странно, что чистосердечная исповедь Привалова не произвела на нее отталкивающего, дурного впечатления; напротив, Надежда Васильевна убедилась только в том, что Привалов являлся жертвой своих, приваловских, миллионов, ради которых около него постоянно ютились самые подозрительные люди, вроде Ляховского, Половодова, Веревкина и т. д. Что Привалов женился на Зосе — это тоже было понятно, как понятно и то, почему Зося вышла замуж именно за него. Но чего Надежда Васильевна никак не

могла понять, так это отношений Привалова к Половодовой, этой пустой светской барыне, кроме своей красивой внешности не имевшей за собой решительно ничего. Тут чувствовался какой-то пробел, чувствовалось что-то недоговоренное, чего не хотел или не умел досказать сам Привалов.

Если раньше в Привалове Надежда Васильевна видела «жениха», которого поэтому именно и не любила, то теперь она, напротив, особенно интересовалась им, его внутренней жизнью, даже его ошибками, в которых обрисовывался оригинальный тип. Такой именно человек мог любить и сделать жизнь полной. Зосю Надежда Васильевна не обвиняла, но на ее месте никогда не довела бы Привалова до его настоящего положения. Ей рисовался другой Привалов, тот хороший Привалов, которого она хотела видеть в нем. Недаром отец так привязан к этой фамилии... Были такие моменты, когда Надежда Васильевна настолько увлекалась своими мыслями, что необыкновенно живо воспроизводила пред собой широкую картину осуществившихся приваловских планов, деятельной

участницей и исполнительницей которых была она сама. Она видела эту приваловскую мельницу в Гарчиках, тысячи подвод с хлебом, которые стягивались к ней со всех сторон, организованную на широких началах хлебную торговлю и т. д. Этой жизнью можно было жить, и она дала бы здоровое, трудовое счастье.

Для этих мыслей у Надежды Васильевны теперь оставалось много свободного времени: болезнь мужа оторвала ее даже от того мирка, с которым она успела сжиться на приисках. А теперь, живя в городе, она не знала, куда ей деваться со своими досугами, и иногда сильно скучала. Доктор целые дни проводил на практике, так что дома его можно было видеть только мельком. Других знакомых не было, поэтому посещения Привалова вносили в эту однообразную жизнь освежающий элемент. Лоскутов по-прежнему чувствовал себя нехорошо, хотя определенной болезни доктора не находили в нем.

— У меня точно делается темно в голове, — говорил иногда Лоскутов жене, — самое страшное ощущение... Иногда опять все кру-

гом делается необыкновенно ясно: именно, основой всего является число, известный механический ритм, из которого, как звуки из отдельных колебаний воздушной волны, развивается весь остальной мир. Я так отчетливо представляю себе картину, что мог бы изложить ее при помощи математических формул или, еще лучше, музыкальными аккордами. Говорю серьезно... Ведь мир — это строго гармоническое целое, с числовым основанием, и ничто так не передает гармонические сочетания, как музыка. Можно положить на ноты шум ветра, стук экипажа, движение машины, шаги человека!

Раз ночью Лоскутов сильно испугал жену: он ее разбудил и тихо прошептал:

— Я сейчас видел все...

— Как все?

— Решительно все... О, как много я видел! Мне было что-то вроде откровения, над чем бьются миллионы человеческих голов самых гениальнейших и чего никогда не разгадают, — я понял это сразу. Знаешь, я видел всех людей счастливыми... Нет ни богатых, ни бедных, ни больных, ни здоровых, ни сильных,

ни слабых, ни умных, ни глупых, ни злых, ни добрых: везде счастье... И как просто все! Можно только удивляться, как это раньше никому не пришло в голову, то есть оно и приходило, может быть, но глохло или искажалось. Видишь ли, в чем дело, если внешний мир движется одной бессознательной волей, получившей свое конечное выражение в ритме и числе, то неизмеримо обширнейший внутренний мир основан тоже на гармоническом начале, но гораздо более тонком, ускользающем от меры и числа, — это начало духовной субстанции. Люди в общении друг с другом постоянно представляют дисгармонию, точно так же как в музыке. Вот чтобы уничтожить эту дисгармонию, нужно создать абсолютную субстанцию всеобщего духа, в котором примирятся все остальные, слившись в бесконечно продолжающееся и бесконечно разнообразное гармоническое соединение, из себя самого исходящее и в себя возвращающееся.

Дальше Лоскутов очень подробно развивал мысль, что необходимо, на основании абсолютной субстанции духа, создать новую

вселенскую религию, в которой примирятся все народы и все племена. Даже с практической стороны он не видит препятствия; необходимо отправиться в Среднюю Азию, эту колыбель религиозных движений, очистить себя долгим искусом, чтобы окончательно отрешиться от отягощающих наше тело чисто плотских помыслов, и тогда вполне возможно подняться до созерцания абсолютной идеи, управляющей нашим духовным миром.

Надежда Васильевна с ужасом слушала этот сумасшедший бред и сама начинала чувствовать, что недалека от сумасшествия. Галлюцинации мужа передавались ей: это был первый шаг к сумасшествию. Она не знала, что ей делать и как отнестись к этим галлюцинациям мужа, которые стали повторяться. Когда она рассказала все доктору, он внимательно ее выслушал и задумчиво проговорил:

— Плохо, очень плохо.

— Что же делать, доктор?

— Нужно подождать, пока болезнь окончательно определится.

Привалов сдержал свое слово и перестал пить, но был такой задумчивый и печаль-

ный, что Надежде Васильевне тяжело было на него смотреть. Трезвый он действительно почти совсем не разговаривал, то есть ничего не рассказывал о себе и точно стыдился, что позволил себе так откровенно высказаться перед Надеждой Васильевной... Таким образом ей разом пришлось ухаживать за двумя больными, что делало ее собственное положение почти невыносимым. Раз она попробовала предложить очень энергическую меру Привалову:

— Я вижу, Сергей Александрыч, что вам трудно переменить прежний образ жизни, хотя вы стараетесь сдержать данное слово. Только не обижайтесь, я вам предложу маленький компромисс: пейте здесь... Я вам не буду давать больше того, чем следует.

— Нет... никогда. Да я уж совсем почти отвык, а если навожу на вас тоску своим присутствием, так это совсем уж не от того. Вы меня просто гоните, когда надоем вам...

Надежда Васильевна сейчас же раскаялась в своем необдуманном предложении, которым Привалов, видимо, обиделся. Раньше он никогда не обижался на нее, хотя она выска-

зывала ему вещи гораздо обиднее. В свою очередь, Надежда Васильевна тоже была недовольна Приваловым: она ему желала только добра, — на что же он обижался? Да и что она за нянька, чтобы ухаживать за ним? Впрочем, это была минутная вспышка, которая так же скоро потухла, как явилась. Ей опять сделалось жаль Привалова, который так беззаветно доверялся ей.

Ввиду всех этих данных Надежда Васильевна и не дала доктору сейчас же решительного ответа, когда он предложил ей ехать в Гарчики. Ее что-то удерживало от этой поездки, точно она боялась сближения с Приваловым там, на мельнице, где он, собственно, бывал реже, чем в городе. Но доктор настаивал на своем предложении, и Надежда Васильевна наконец нашла то, что ее смущало.

— А что скажет Зося, когда узнает, что мы переехали на мельницу к Сергею Александрычу? — откровенно высказалась она доктору.

— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и могу вам сказать только то, что Зося не имеет никакого права что-нибудь говорить про

вас, — ответил доктор. — Вы, вероятно, заметили уже, в каком положении семейные дела Зоси... Я с своей стороны только могу удивляться, что она еще до сих пор продолжает оставаться в Узле. Самое лучшее для нее — это уехать отсюда.

Надежда Васильевна наконец согласилась, потому что не могла подыскать никаких причин для отказа.

Переехать в Гарчики совсем — было делом нескольких дней. Начиналась уже весна: последний снег белел только по оврагам, и на полях зеленели озими. Местоположение Гарчиков, окрестности, близость реки Узловки, наконец сама мельница и флигелек в три окна — все понравилось Надежде Васильевне с первого раза. Лоскутов тоже быстро освоился с новой обстановкой и точно ожил в ней. Он по целым дням бродил по полям и лугам, подолгу оставался на мельнице, наблюдая кипевшую на ней работу. Галлюцинации оставили его расстроенный мозг, и он заметно оживился.

Во флигельке скоро потекла мирная семейная жизнь, в которой принимали самое жи-

вое участие Нагибин и поп Савел. Они своим присутствием делали совсем незаметным однообразие деревенской жизни, причем поп Савел ближе сошелся с Лоскутовым, а Нагибин с Надеждой Васильевной. Добрый старик не знал, чем угодить «барышне», за которой ухаживал с самым трогательным участием.

— Вот только Сергея Александрыча и недостает, — иногда говорил Нагибин, тяжело вздыхая. — А то вся артель теперь в сборе...

— Теперь Сергею Александрычу нельзя сюда приехать, Илья Гаврилыч, — отвечала Надежда Васильевна, — он ведь свидетелем по делу брата Виктора...

— Точно-с, сударыня. Я совсем забыл...

Мы до сих пор ничего не говорили о маленьком существе, жизнь которого пока еще так мало переходила границы чисто растительных процессов: это была маленькая годовалая девочка Маня, о которой рассказывал Привалову на Ирбитской ярмарке Данилушка. Слишком занятая больным мужем, Надежда Васильевна мало видела свою дочурку в городе, где она находилась под надзором няни, зато теперь она могла посвящать ей целые

дни. Нагибин особенно привязался к ребенку и ухаживал за ним, как женщина. Смешно было смотреть, когда этот старик тащил на руках маленькую «внучку», как он называл девочку, куда-нибудь на берег Лалетинки и забавлял ее самыми замысловатыми штуками: катался на траве, кричал коростелем, даже пел что-нибудь духовное.

— В бабушку, вся в бабушку, — говорил иногда старик, рассматривая внучку. — Ишь какая карахтерная.

Девочка действительно была серьезная не по возрасту. Она начинала уже ковылять на своих пухлых розовых ножках и довела Нагибина до слез, когда в первый раз с счастливой детской улыбкой пролепетала свое первое «деду», то есть дедушка. В мельничном флигельке теперь часто звенел, как колокольчик, детский беззаботный смех, и везде валялись обломки разных игрушек, которые «деду» привозил из города каждый раз. Маленькая жизнь вносила с собой теплую, светлую струю в мирную жизнь мельничного флигелька.

Привалов действительно приехал в Гарчи-

ки после процесса Виктора Васильича и вместе с известием об его оправдании привез переданную ему Веревкиным новость о намерении последнего «пойти в семена». О предложении Веревкина Привалов пока рассказал только одной Надежде Васильевне, которая уже сама рассказала все Нагибину.

— Устрой, господи, все на пользу! — крестился старик. — На что лучше... Николай-то Иваныч золотая душа, ежели его в руках держать. Вере-то Васильевне, пожалуй, трудновато будет совладать с им на первых порах... Только же и слово сказал: «в семена пойду!» Ах ты, господи батюшко!

По такому исключительному случаю был устроен маленький семейный праздник, на котором разговорам не было конца. Привалов точно переродился на деревенском воздухе и удивлял Надежду Васильевну своим оживленным, бодрым настроением. Когда вечером начали все прощаться, Нагибин крепко поцеловал руку Надежды Васильевны и проговорил растроганным голосом:

— Матушка ты наша, барышня-голубушка, пропали бы мы все здесь пропадом... Вот те

истинный Христос!

— Что вы, Илья Гаврилыч, — останавливала расчувствовавшегося старика Надежда Васильевна, — при чем тут именно я?

— Ну, уж это дело наше, голубушка... Знаем, что знаем. Позвольте еще ручку, барышня...

— Какая я вам барышня, когда у меня уж дети!

— Для кого как, а для нас вы барышня, Надежда Васильевна. Я так и молюсь за вас: «Господи, помилуй нашу барышню Надежду Васильевну...» Вот сейчас провалиться, не вру... Пожалуйте ручку, барышня!

Деревенская весна с тысячью мужицких думушек и «загадок» раскрывала пред Надеждой Васильевной, страница за страницей, совершенно незнакомую ей жизнь. Вычитанное представление о деревне так мало отвечало действительности... Особенно интересовали Надежду Васильевну внутренние порядки крестьянской жизни, какой она проявляется у себя, в своей семье. Каторжная доля деревенской бабы удивила ее. И мужик, конечно, работает, но бабе везде достается вдвое, даже

в несчастиях и оскорблениях. Этот специально бабий мир был переполнен такими специально бабьими интересами и напастями, которым не было числа и меры. Для Надежды Васильевны одно открытие следовало за другим, точно она приехала в какое-то неизвестное ей до сих пор царство. Что значили наши выдуманные и воображаемые страдания сравнительно с мукой мученической деревенской бабы, о которой сам бог забыл! Скоро у Надежды Васильевны завелось в Гарчиках самое обширное бабье знакомство, а во флигельке не переводились разные древние старушки, которых Надежда Васильевна особенно любила. Это были настоящие героини труда, труда самого неблагодарного и никому не известного. Старухи несли в мельничный флигелек бесконечные рассказы о пережитой ими муке мученической вместе с тысячами своих старушечьих недугов, зол и безысходного горя, которому одно лекарство — могила.

— Матушка ты наша, Надежда Васильевна, — говорила одна сгорбленная старушка, — ты поживи с нами подоле, так ее своими глазыньками увидишь. Мужику какое житье:

знает он свою пашню да лошадь, а баба весь дом везет, в поле колотится в страду, как каторжная, да с ребятишками смертыньку постоянную принимает.

Раз Надежда Васильевна попала на деревенскую свадьбу и с этого деревенского «веселья» даже заболела: недаром сложились эти похоронные свадебные песни — в них выливалась вся бабья мука мученическая, которой не было конца-краю. Теперь все то, чем раньше жила Надежда Васильевна, как-то отошло на задний план, стушевалось, побледнело и просто казалось смешным. Впереди вставала бесконечная святая работа, которую должна сделать интеллигентная русская женщина, — именно, прийти на помощь к своей родной сестре, позабытой богом, историей и людьми. Здесь, Как нигде в другом месте, чувствовалась великая сила знания... Малейшая крупица его здесь принесет плод сторицей. Даже специально «городские» знания Надежды Васильевны нашли здесь громадное применение, а между тем ей необходимо было знать тысячи вещей, о которых она никогда даже не думала, так, например, медицина.

Не прошло недели деревенского житья, как Надежда Васильевна почувствовала уже, что времени у нее не хватает для самой неотступной работы, не говоря уже о том, что было бы желательно сделать. Приходилось, как говорится, разрываться на части, чтобы везде поспеть: проведать опасную родильницу, помочь нескольким больным бабам, присмотреть за выброшенными на улицу ребятишками... А там уже до десятка белоголовых мальчуганов и девчонок исправно являлись к Надежде Васильевне каждое утро, чтобы «происходить грамоту».

— Одолели вас наши бабы, барышня, — соболезновал Нагибин. — Ведь их только помани: умереть не дадут. Одно слово — бабы, бабы и есть... И старушонки вот тоже каждый день зачали сюда таскаться.

— Ну, это не ваша, а моя забота, — сухо ответила Надежда Васильевна, — пусть ходят, я всегда им рада.

К Привалову Надежда Васильевна относилась теперь иначе, чем в Узле; она точно избегала его, как это казалось ему иногда. О прежних откровенных разговорах не было и

помину; в присутствии Привалова Надежда Васильевна обращалась с мужем с особенной нежностью, точно хотела этим показать первому, что он здесь лишний. Даже Лоскутов заметил эту перемену в жене и откровенно, как всегда, высказал ей свое мнение.

— Это тебе так кажется, Максим, — отвечала Надежда Васильевна вспыхивая. — Что мне ухаживать за ним; у меня и без того работы по горло.

— Я так сказал, — проговорил Лоскутов, удивляясь непонятному раздражению жены.

Раз или два, впрочем, Надежда Васильевна высказывала Привалову, что была бы совсем счастлива, если бы могла навсегда остаться в Гарчиках. Она здесь открыла бы бесплатную школу и домашнюю лечебницу. Но как только Максим поправится, придется опять уехать из Гарчиков на прииски.

Глава 84

Половодов должен был подать первый отчет по конкурсному управлению Шатровскими заводами осенью, когда кончится заводский год. Привалов и Веревкин ожидали этого срока с особенным нетерпением, пото-

му что отчет должен был дать им в руки предлог устранить Половодова с его поста. Теперь налицо было два наследника, и это обстоятельство давало некоторую надежду на полный успех дела.

В старом приваловском доме шла прежняя жизнь, с той разницей, что присутствие Тита Привалова накладывало на нее цыганский отпечаток. Братья, живя под одной кровлей, были гораздо дальше друг от друга, чем раньше, когда Тит Привалов представлял собой совершенно неизвестную величину. Каждый новый день приносил с собой новые доказательства того, какая неизмеримая разница стояла между братьями. Привалов старший принужден был убедиться, что Привалов младший бесповоротно погибший человек — как человек, который чувствовал физическое отвращение ко всякому труду и с болезненной жаждой отыскивал везде одни удовольствия. Это была вполне цыганская натура: неусидчивая, беспокойная и вместе с тем глубоко апатичная. Когда он потерял интерес новинки, то с головой опустился в тот омут, который чуть было не затянул в себя Привалова

старшего. В обществе Лепешкина и Ивана Яковлича Привалов быстро усвоил себе самые широкие привычки и щедро выдавал векселя направо и налево, пока старший Привалов платил за них.

— Воля твоя, я больше не могу оплачивать твои глупости, — заметил наконец Привалов своему брату.

— Тогда я перейду на сторону Половодова.

— Для тебя же хуже, а мне все равно: как знаешь, так и делай.

Но Тит рассчитал, что выгоднее держаться за брата, и не привел своей угрозы в исполнение.

Наконец наступил срок подачи отчета в дворянскую опеку, которая находилась в губернском городе Мохове, за триста верст от Узла. Веревкин полетел туда и всякими правдами и неправдами добыл себе копию с поданного Половодовым отчета.

— Поздравляю: Половодов влетел! — заявил Веревкин, когда вернулся из Мохова. — Зарвался... Ха-ха! Да вы только прочтите этот отчет — комедия из комедий, и мы достопочтенного Александра Павлыча в три узла за-

вяжем. Представьте себе: Шатровские заводы при Косте Бахареве давали ежегодно чистого дивиденда до четырехсот тысяч, а по отчету Половодова... сколько бы вы думали?.. семьдесят тысяч... Этого мало: из этих семидесяти тысяч нужно исключить сначала двадцать тысяч за продажу металла, оставшегося после Бахарева, а потом еще пятнадцать тысяч земского налога, которых Половодов и не думал вносить. Итого остается не семьдесят тысяч, а всего тридцать пять тысяч... Далее, Половодов в качестве поверенного от конкурса пользуется пятью процентами с чистого дохода: по его расчетам, то есть с семидесяти тысяч, это составит три с половиной тысячи, а он забрал целых десять тысяч...

Привалов не верил своим ушам, но, прочитав копию половодовского отчета, должен был убедиться в печальной истине. Можно было только удивляться безумной смелости, с какой Половодов запустил свою лапу в чужое добро. Теперь Привалов и сам верил, что дни Половодова окончательно сочтены; оставалось только воспользоваться этими обстоятельствами.

— Необходимо вам теперь самим ехать в Мохов, — говорил Веревкин Привалову, — мы их там всех в бараний рог согнем... Вы только представьте себе, из кого состоит эта дворянская опека, — ни дать ни взять какая-нибудь оффенбаховская оперетка! Председатель, отставной чиновник Феонов, — сутяга и приказная строка, каких свет не производил; два члена еще лучше: один — доктор-акушер семидесяти восьми лет, а другой — из проворовавшихся становых приставов, отсидевший в остроге три года... Хороши гуси, нечего сказать! А главное: председатель получает тридцать рублей жалованья, а члены по двадцать восемь рублей. Ну, чего стоило Половодову купить всю эту опеку со всеми потрохами, когда он зацепил больше трехсот тысяч в один год! Признаюсь, бывали у меня дела, видал всякие виды, а подобного еще не случалось лицезреть...

— Мне странным кажется только то, — говорил Привалов, — почему Половодов сразу зарвался, тогда как ему гораздо выгоднее было обобрать заводы в течение нескольких лет на гораздо большую сумму...

— Ну, батенька, у всякого свои расчеты: значит, ему так показалось выгоднее, а может быть, просто не вытерпел и хватил разом. Враг силен, горами качает.

— А где теперь Половодов, вы не знаете?

— Здесь, в Узле. Из самых достоверных источников слышал, даже видел, как он выезжал от Хины.

Привалов хорошо знал, зачем Половодов ездил к Заплатиной, но ему теперь было все равно. С женой он почти не видался и не чувствовал больше к ней ни любви, ни ненависти.

Устроив на скорую руку свои дела в Узле, Привалов уехал с Веревкиным в Мохов и прямо обратился к губернатору, который принял в этом вопиющем деле самое деятельное участие. Веревкин составил докладную записку для губернатора и не пожалел красок для описания подвигов Половодова. Губернатор, старый николаевский служака, круто повернул все дело, и благодаря его усилиям журнальным постановлением дворянской опеки Половодов устранялся от своего звания поверенного от конкурса.

— А кроме этого, мы Александра Павлыча привлечем к уголовной ответственности за мошенничество, — соображал Веревкин, потирая руки. — Захваченные же деньги взыщем гражданским судом. Одним словом, сделаем полнейший шах и мат.

Когда Привалов вернулся в Узел и только хотел отправиться в Гарчики отдохнуть несколько дней, Веревкин узнал, что новым журнальным постановлением дворянской опеки Половодов снова восстановлен в своих полномочиях поверенного от конкурса.

— Опять придется ехать в Мохов... — говорил Веревкин.

Сделать в осеннюю распутицу взад и вперед целых шестьсот верст заставило Привалова задуматься, но дело не ждало, и он решился опять ехать в Мохов. Веревкин так и рвался сразиться еще раз с Половодовым. На этот раз губернатор принял Привалова довольно сухо: какая-то искусная канцелярская рука успела уже «поставить дело» по-своему. Веревкину стоило героических усилий, чтобы убедить губернатора еще раз в необходимости принять самые энергичные меры для

ограждения интересов наследников Шатровских заводов. Двухнедельные хлопоты по всевозможным канцелярским мытарствам наконец увенчались полным успехом: опека опять отрешила Половодова от его должности, заменив его каким-то безвестным горным инженером.

— Если еще раз такую баню вкусишь, пожалуй, и оскомину набьешь, — решил Веревкин. — Это черт знает что такое, какая-то сказка про белого бычка.

В Узел Привалов вернулся ночью, в страшную осеннюю слякоть, когда в двух шагах хоть глаз выколи. Не успел он умыться после дороги, как в кабинет вошел доктор, бледный и взволнованный. Привалова удивил и даже испугал этот полуночный визит, но доктор предупредил его вопрос, подавая небольшую записку, торопливо набросанную на розовом почтовом листке.

— Вот прочитайте... — едва мог проговорить доктор.

Привалов сразу узнал руку Зоси, которая писала доктору:

«Милый и дорогой доктор!

Когда вы получите это письмо, я буду уже далеко...
Вы — единственный человек, которого я когда-нибудь любила, поэтому и пишу вам. Мне больше не о ком жалеть в Узле, как, вероятно, и обо мне не особенно будут плакать. Вы спросите, что меня гонит отсюда: тоска, тоска и тоска... Письма мне адресуйте poste restante[38] до рождества на Вену, а после — в Париж. Жму в последний раз вашу честную руку.
Ваша недостойная ученица Зося.
P. S. Мой муж, вероятно, не особенно огорчится моим отъездом, потому что уже, кажется, нашел себе счастье en trois...[39] Если увидите Хину, передайте ей от меня, что обещанные ей Половодовым золотые пришки пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана».

В кабинете несколько мгновений стояло самое напряженное, тяжелое молчание.

— Я не ожидал от Зоси именно этого... — проговорил наконец Привалов.

Ответа не было. Привалов поднял глаза и увидел, как седой, сгорбившийся в одну ночь старик стоял у окна к нему спиной и тихо плакал.

— Борис Григорьич... — тихо окликнул Привалов, подходя к доктору.

— Что? — отозвался старик, закрыв мокрое лицо руками.

— Она уехала... одна?

— Нет, с Половодовым...

Опять тяжелая пауза. Привалову сделалось жаль не себя, а этого хорошего старика, который теперь рыдал как ребенок.

— Доктор, вы очень любили ее?

— Я?.. О да... Зося для меня была дороже жизни. До двенадцати лет я любил ее как девочку, а потом как женщину... Если бы я мог вернуть ее... Она погибнет, погибнет...

«Я никогда не любил жену... — думал Привалов, слушая этот бред. — А вот человек, который действительно отдал ей все, что может отдать человек».

С доктором сделалась истерика, так что Привалову пришлось возиться с ним до самого утра. Старик немного забылся только пред

серым осенним рассветом, но и этот тяжелый сон был нарушен страшным гвалтом в передней. Это ворвалась Хиония Алексеевна, которая узнала об исчезновении Зоси, кажется, одной из последних. В кабинет она влетела с искаженным злобой лицом и несколько мгновений вопросительно смотрела то на доктора, то на Привалова.

— Могу я узнать, куда уехала Софья Игнатьевна? — проговорила она наконец с азартом, обращаясь к Привалову.

— Да, можете: она теперь на дороге в Вену...

— Не может быть!.. Вы все меня обманываете... С кем же она уехала?

— Вам это ближе знать, Хиония Алексеевна...

— Что вы хотите этим сказать, Сергей Александрыч? Я, конечно, бедная женщина, и оскорбить меня ничего не стоит... Притом вы отлично изучили мой проклятый характер...

Чтобы прекратить эту дурацкую сцену, Привалов дал Хионии Алексеевне прочитать письмо Зоси к доктору.

— Вот как!.. — едва могла проговорить Хи-

ония Алексеевна, напрасно стараясь принять величественную позу. — Прииски... Шайтан...

В следующую минуту Хионию Алексеевну выкинуло из приваловского кабинета, точно ветром, и она опомнилась только на улице, где стояло мглистое, холодное сентябрьское утро, дул пронизывающий насквозь ветер и везде по колено стояла вязкая глубокая грязь. «Золотые прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана...» Эта фраза колола Хионию Алексеевну, как змеиное жало. И это благодарность за все ее хлопоты, за весь риск, какому она себя подвергала, за всю преданность... И после этого еще можно верить людям?! Ее выкинули, как бросают старую тряпку за окно. Да!.. Испитое лицо Хионии Алексеевны было ужасно в этот момент: волосы выбились из-под шляпы клочьями, пальто было распахнуто. С каким-то диким хохотом она оглянулась на приваловский дом и погрозила ему своим высохшим, костлявым кулаком, а потом плюнула в сторону видневшегося города. Пошатываясь, Хионня Алексеевна едва добралась до первого

извозчика и глухо проговорила:

— К Веревкиным...

Когда Веревкин узнал об отъезде Зоси и Половодова, он крепко выругался, а потом проговорил:

— Вот вам и весь секрет, почему Половодов сразу рванул такой кущ: не из чего было выбирать. Изволь-ка его теперь ловить по всей Европе, когда у него в кармане голеньких триста тысяч...

Глава 85

Привалов решился ехать в Петербург сам, чтобы перенести дело в сенат. Теперь он мог воспользоваться произведенной Половодовым растратой в своих интересах, да и хлопотать мог уже не от себя только лично, но и от брата Тита. Веревкин, конечно, ехал вместе с ним и только просил об одном — чтобы подождать приезда Василия Назарыча с приисков, когда его собственное дело окончательно вырешится в ту или другую сторону. Привалову тоже нужно было привести в порядок кой-какие дела на мельнице, и он согласился подождать до первого зимнего пути.

Веревкин каждый день ездил в бахарев-

ский дом. Его появление всегда оживляло раскольничью строгость семейной обстановки, и даже сама Марья Степановна как-то делалась мягче и словоохотливее. Что касается Верочки, то эта умная девушка не предавалась особенным восторгам, а относилась к жениху, как относятся благоразумные больные к хорошо испытанному и верному медицинскому средству. Иногда она умела очень тонко посмеяться над простоватой «натурой» Nicolas, который даже смущался и начинал так смешно вздыхать.

— Ну, наша Вера Васильевна уродилась, видно, не в батюшку, — рассуждал Лука «от свободности». — Карахтер у нее бедовый, вся в матушку родимую, Марью Степановну, выйдет по карахтеру-то, когда девичья-то скорость с нее соскочит... Вон как женихом-то поворачивает, только успевай оглядываться. На што уж, кажется, Миколай-то Иваныч насчет словесности востер, а как барышня поднимет его на смешки, — только запыхтит.

Марья Степановна, по-видимому, не раскаивалась в своем выборе и надеялась, что Василий Назарыч согласится с нею. Иногда, гля-

дя на Веревкина, она говорила вслух:

— Вот уж поистине, Николай Иваныч, никогда не знаешь, где потеряешь, где найдешь... Из Витенькиной-то стрельбы вон оно что выросло! Вот ужо приедет отец, он нас раскасторит...

Наконец приехал и Василий Назарыч с прииска. Верочка сама объявила ему о сделанном ею выборе. Это неожиданное известие очень взволновало старика; он даже прослезился.

— Он тебе нравится? — спрашивал он Верочку.

— Очень, папа...

— Ну, твое счастье... Прежде старики сами выбирали женихов детям да невест, а нынче пошло уж другое. Тебе лучше знать, что тебе нравится; только не ошибись...

— Нет, папа: он такой добрый.

— Дай бог, дай бог, деточка, чтобы добрый был. Вот ужо я с ним сам переговорю...

Веревкину старик откровенно высказал все, что у него лежало на душе:

— Сам-то ты парень хороший, да вот тятенька-то у тебя...

— Василий Назарыч, право, трудно обвинять человека в том, от кого он родился, — говорил Веревкин.

— Верно, все верно говоришь, только кровь-то в нас великое дело, Николай Иваныч. Уж ее, брат, не обманешь, она всегда скажется... Ну, опять и то сказать, что бывают детки ни в мать, ни в отца. Только я тебе одно скажу, Николай Иваныч: не отдам за тебя Верочки, пока ты не бросишь своей собачьей должности...

— Это мой хлеб, Василий Назарыч.

— И должность свою бросишь, и за Верочкой я тебе ничего не дам, — продолжал старик, не слушая Веревкина, — сам знаешь, что чужая денежка впрок нейдет, а наживай свою.

— Я и не рассчитываю, Василий Назарыч, на чужие деньги.

— Ну, рассчитываешь там или нет, — по мне, было бы сказано... так-то!.. Конечно, оно хорошо быть адвокатом, жизнь самая легкая, да от легкой-то жизни люди очень скоро портятся.

— Дайте подумать, Василий Назарыч...

— Тут и думать нечего: твое счастье, видно, в сорочке ты родился, Николай Иваныч. А денег я тебе все-таки не дам: научу делу — и будет с тебя. Сам наживай.

Веревкин несколько дней обдумывал это предложение, а потом, махнув рукой на свою «собачью службу», решил: «В семена так в семена... Пойдем златой бисер из земли выкапывать!»

— Только дайте мне дело Шатровских заводов кончить, — просил Веревкин Василия Назарыча. — Нужно будет съездить в Петербург еще раз похлопотать...

— Не держу, поезжай... Только из этого ничего не выйдет, вперед тебе скажу? заводов вам не воротить. Ну, а Сергей что?

Веревкин рассказал, что знал о мельнице и хлебной торговле Привалова. Старик выслушал его и долго молчал.

— Этакая мудреная эта приваловская природа! — заговорил он. — Смотреть на них, так веревки из них вей, а уж что попадет в голову — кончено. Прошлую-то зиму, говорят, кутил он сильно?

— Теперь не пьет больше, Василий Наза-

рыч.

— В добрый час... Жена-то догадалась хоть уйти от него, а то пропал бы парень ни за грош... Тоже кровь, Николай Иваныч... Да и то сказать: мудрено с этакой красотой на свете жить... Не по себе дерево согнул он, Сергей-то... Около этой красоты больше греха, чем около денег. Наш брат, старичье, на стены лезут, а молодые и подавно... Жаль парня. Что он теперь: ни холост, ни женат, ни вдовец...

Свадьба Верочки была назначена сейчас после рождества, когда Веревкин вернется из Петербурга.

Привалов в это время был в Гарчиках, где разыгрывалась самая тяжелая драма: Лоскутов сошел с ума... Был вызван из Узла доктор Сараев, но больной уже не нуждался ни в чьей помощи: смерть была не за горами. У Лоскутова развилась острая форма помешательства с припадками религиозной мании. Он вообразил себя мессией, который пришел спасти весь мир и вторично умереть для спасения людей. Самый восторженный бред перемешивался со страшными приступами от-

чаяния, которое переходило в исступление. Больной неистовствовал и бесновался, так что его приходилось даже связывать, иначе он разбил бы себе голову или убил первого, кто подвернулся под руку.

В комнате больного попеременно дежурили Привалов, Нагибин или сам доктор. Что касается Надежды Васильевны, то доктор непременно настаивал, чтобы она переселилась в деревню, где не будет слышать стонов и воплей несчастного больного.

— Если вы не заботитесь о себе, то подумайте о вашей дочери, — говорил доктор, когда Надежда Васильевна не хотела следовать его советам. — Больному вы не принесете особенной пользы, а себя можете окончательно погубить. Будьте же благоразумны...

Надежда Васильевна наконец согласилась с той тупой покорностью, какая является у людей, потерявших последнюю надежду. Она не плакала, не жаловалась, но это немое горе серьезно беспокоило доктора.

Острый период болезни Лоскутова продолжался дней десять, в течение которых он ни разу не заснул, но потом он как-то вдруг «сти-

шал» и точно весь распустился.

— Начался паралич, — предупредил Привалова доктор. — Скоро все кончится.

— Вы предупредили об этом Надежду Васильевну?

— Да... Смерть — самый счастливый исход для таких больных.

Через две недели Лоскутова не стало. Его похоронили на общем крестьянском кладбище, куда Надежда Васильевна ходила каждый день. Доктор каждый раз провожал ее, озабоченный слишком сдержанным, немым горем своей бывшей ученицы. Ему самому было не веселее, и он даже жалел, что Зося продолжает еще жить, жить для того, чтобы спускаться все ниже и ниже по той покатой, скользкой плоскости, по которой она теперь уже катилась. Лоскутова доктор любил я глубоко ценил как талантливую, светлую голову, которая, как многие другие светлые головы на Руси, пропала ни за грош...

Чтобы развлечь Надежду Васильевну, доктор строил всевозможные планы, как устроить ее, но она остановилась на своем собственном решении: навсегда остаться в Гар-

чиках, где похоронила свое молодое счастье.

— Заведу школу... буду лечить крестьян, — говорила она доктору. — Труд — лучшее лекарство для меня.

Открылся санный путь, и Привалову нужно было уезжать в Петербург. На прощанье он нерешительно сказал Надежде Васильевне:

— У меня есть до вас большая просьба. Я уеду надолго, может быть, на год. Если бы вы согласились помогать Илье Гаврилычу в нашем деле, я был бы совершенно спокоен за все. Мне необходимо такое доверенное лицо, на которое я мог бы положиться как на самого себя.

Надежда Васильевна долго не соглашалась взять на себя такую обузу, но когда Нагибин стал ее просить со слезами на глазах, она согласилась. Чтобы не скучно было жить одной в Гарчиках, Надежда Васильевна написала письмо старушке Колпаковой, приглашая ее к себе хотя на время.

Глава 86

Прошел год.

Свадьба Веревкина состоялась в январе, а весной он уехал с Василием Назарычем

на прииски. Привалов с братом Титом жил в Петербурге, где продолжал хлопоты по делу о заводах. Прошло лето, наступила опять зима, и все кругом потонуло в глубоком снегу.

Веревкин с женой жил в бахаревском доме и, кажется, совсем отказался от своих прежних привычек и друзей веселой юности. Приисковое дело пришлось ему как раз по душе, и Василий Назарыч как нельзя больше был доволен своим помощником. Как семьянин Веревкин открывал в себе совершенно неподозреваемые достоинства: он совсем втянулся в тихую семейную жизнь. Маленький диссонанс, особенно на первое время, вносили в эту жизнь родственные отношения к Веревкиным, к которым Бахарев никак не мог привыкнуть, и даже Верочка, уживавшаяся со всем и со всеми, чувствовала себя не в своей тарелке в присутствии Ивана Яковлича или Агриппины Филипьевны. Впрочем, первый особенно не обременял своим присутствием, потому что был слишком занят своими личными делами: в течение года он успел еще раз подняться и спустить все до нитки.

В один из ноябрьских дней, когда Василий

Назарыч занимался в своем кабинете, к нему вошел Николай Иваныч и нерешительно кашлянул. Он только что приехал откуда-то и внес с собой в кабинет свежую струю холодного зимнего воздуха.

— Что новенького, Николай Иваныч? — спросил Василий Назарыч, откладывая в сторону кипу каких-то счетов.

— Привалов приехал, Василий Назарыч.

— Ты его видел?

— Да.

Старик почувствовал что-то недоброе в этом сдержанном тоне зятя, но не решался спросить, что привез с собой из столицы Привалов.

— Шатровские заводы, Василий Назарыч, проданы, — проговорил Веревкин, чтобы разом покончить эту тяжелую сцену.

— Как проданы? Кому?.. зачем?

— Для покрытия казенного долга министерство сочло самым лучшим пустить заводы с молотка...

— Кто же их купил?

— Какая-то компания...

Бахарев закрыл лицо руками и так проси-

дел несколько минут. Слышно было, как он сдержанно всхлипывал, напрасно стараясь подавить подступавшие к горлу слезы.

— Что же досталось наследникам? — спросил старик.

— Заводы пошли по цене казенного долга, а наследникам дали отступных, кажется, тысяч сорок...

— И все кончено?

— Теперь все... Компания приобрела заводы с рассрочкой платежа на тридцать семь лет, то есть немного больше, чем даром. Кажется, вся эта компания — подставное лицо, служащее прикрытием ловкой чиновничьей аферы.

— Всем по куску досталось, все сорвали, а наследников ограбили! От приваловских миллионов даже дыму не осталось... Много я видел на своем веку всяких пакостей, а такую еще вижу в первый раз. А что Привалов?

— Ничего... Собирается ехать на свою мельницу. Да, еще есть новость, Василий Назарыч... Сегодня видел доктора, он едет в Париж. На днях получил телеграмму от Зоси; она ему телеграфирует, что Половодов застре-

лился. Его давно разыскивали по Европе по делу о конкурсе, но он ловко скрывался под чужими именами, а в Париже полиция его и накрыла: полиция в двери, а он пулю в лоб... Теперь Зося вызывает доктора в Париж; она хлопочет о разводе.

Бахарев набожно перекрестился и прошептал:

— Всем бы нам руки развязала...

Поздно вечером, когда Веревкин уже хотел ложиться спать, приковылял Лука и объявил:

— Миколай Иваныч, вас барин беспременно спрашивают...

— Хорошо, беспременно приду, старый хрен. Так и скажи барину, что, мол, барин придет, ежели его отпустит барыня...

Лука только махнул рукой: «Уж што и за барин только этот Миколай Иваныч, слова спроста не вымолвит...»

— Мы завтра рано утром едем с тобой, — объявил Василий Назарыч, когда Веревкин пришел в кабинет.

— Хорошо.

Веревкин по тону голоса слышал, что не нужно спрашивать старика, куда и зачем он

едет. У Василия Назарыча было что-то на уме, ну, пусть его: ехать так ехать. Отчего не проехаться: дорога как карта, экипаж у Василия Назарыча отличный, можно всю дорогу спать.

Утром было еще темно, когда на дворе бахаревского дома уже топталась лихая почтовая тройка. Мороз стоял порядочный, и все деревья опушило снежными кристаллами. Приятная дрожь охватит всего, когда в такое утро выйдешь из теплой комнаты на улицу, а там заскрипят полозья, замелькает по сторонам бесконечная снежная поляна; в небе чуть-чуть мигают звездочки, позванивает колокольчик под дугой... Сколько поэзии в такой зимней поездке! А там станция, набитая ямщиками, горячие щи на столе, рюмка водки, и опять звездочки в небе, опять дорога, звон колокольчика и то благодатное убаюкивающее чувство, какого никогда не испытываешь ни на железных дорогах, ни на пароходах.

Веревкин испытывал именно такое поэтическое настроение, когда ехал с Василием Назарычем неизвестно куда. Старик сидел в уг-

лу экипажа и все время сосал сигару. Только раз он спросил Веревкина:

— А ты не знаешь, долго проживет Привалов в Узле?

— Дня три, кажется...

Станции мелькали одна за другой. После горячего, чисто дорожного обеда на одной из них Веревкин крепко заснул, укрывшись медвежьим одеялом. Он проснулся только тогда, когда была уже ночь и кибитка легкой почтовой рысцой спускалась к какому-то селу. Где-то далеко лаяли собаки, попался обоз, нагруженный мешками крупчатки. Вон и деревня, потонувшая в сугробах снега; мутно мелькнули в маленьких запушенных снегом окнах огоньки, кое-где столбами поднимался из труб дым... Было раннее деревенское утро, и бабы уже успели затопить печки. Где-то горланил неугомонный петух — этот деревенский часовой, который хозяйкам сказывает время.

Экипаж остановился у новой пятистенной избы, которая точно горела внутри, — так жарко топилась печка у богатого мужика. На лай собаки вышел сам хозяин.

— Ты староста Дорофей? — спрашивал Василий Назарыч.

— Я, ваше степенство...

— Ну, так отворяй ворота, Илья Гаврилыч где?

— На мельнице сегодня ночуют...

— Ну, пошли поскорее за ним.

Веревкин никак не мог догадаться, куда они приехали, но с удовольствием пошел в теплую избу, заранее предвкушая удовольствие выспаться на полатях до седьмого пота. С морозу лихо спится здоровому человеку, особенно когда он отломает верст полтораста. Пока вытаскивались из экипажа чемоданы и наставлялся самовар для гостей, Веревкин, оглядывая новую избу, суетившуюся у печки хозяйку, напрасно старался решить вопрос, где они. Только когда в избу вошел Нагибин, Веревкин догадался, что они в Гарчиках.

«Эге, вон оно куда пошло!..» — подумал про себя Веревкин, здороваясь со старым знакомым.

— Вот и мы к тебе за крупчаткой приехали, — шутил Василий Назарыч, хлопая Нагибина по плечу. — У нас своя-то вся вышла, а

есть хочется... Вон у меня зятек-то мастер насчет еды.

За чаем побалагурили о том о сем. Василий Назарыч рассказал о продаже заводов. Нагибин только охал и с соболезнованием качал головой. На дворе начало светать.

— Я малость сосну, господа, — заявил Веревкин, желая избавить стариков от своего присутствия; его давно уже клонил мертвый сон, точно вместо головы была насажена пудовая гиря.

— Она здесь? — тихо спросил Василий Назарыч Нагибина, когда Веревкин захрапел на полатях.

— Здесь...

— Ну, что она?.. Рассказывай.

— Да все то же, все по-старому. Школку зимой открыла, с ребятишками возится да баб лечит. Ну, по нашему делу тоже постоянно приходится отрываться: то да се... Уж как это вы хорошо надумали, Василий Назарыч, что приехали сюда. Уж так хорошо, так хорошо.

Бахарев рассказал о смерти Половодова и о желании Зоси получить развод.

— Вот я и приехал... хочу увидать На-

дю... — заговорил Бахарев, опуская седую голову. — Вся душенька во мне изболелась, Илья Гаврилыч. Боялся один-то ехать — стар стал, того гляди кондрашка дорогой схватит. Ну, а как ты думаешь насчет того, о чем писал?

— То же самое я думаю, Василий Назарыч... Тоскует она, Надежда-то Васильевна, на глазах сохнет. Да и какое это житье, если разобрать: вроде того, как дом стоит без крыши...

— Ну, а теперь можно идти к ней?

— Можно... Она рано встает. Только я вперед забегу, погляжу, что и как. Пожалуй, еще испугается...

— Не послать ли вперед Николая Иваныча? Он мастер балясы-то точить с бабами...

— Нет, уж лучше так, Василий Назарыч. Я живой ногой сбегаю на мельницу, что и как, а потом уж вместе и пойдемте туда. Оно все как-то смутительно...

В ожидании Нагибина Василий Назарыч переживал страшное волнение. Вот уже три года, как он не видал дочери; из письма Нагибина он узнал в первый раз, что у него уже

есть внучка; потом — что Лоскутов умер. Старик надеялся, что именно теперь Надя вернется в свой дом, по крайней мере придет взглянуть на стариков. Нет и нет... Тогда Василий Назарыч осторожно навел через Нагибина справки, нет ли какой-нибудь новой причины такого странного поведения; старики одинаково боялись, чтобы за первым Лоскутовым не появился второй. В человека вообще, а в женскую породу в особенности, в этом случае они плохо верили... От Нагибина Василий Назарыч узнал, что новых причин никаких не имеется, а Надежда Васильевна живет в Гарчиках «монашкой»: учит ребят, с деревенскими бабами возится, да еще по мельнице орудует вместе с ним, как наказывал Сергей Александрыч. К этому старик прибавил, что, конечно, теперь она сильно тоскует — приступу к ней иногда нет, — ну, а дело-то все-таки молодое — и не такое горе износится... Вон Сергей Александрыч тоже, сердяга, мается со своим постылым житьишком. Не глядели бы глазыньки! Нагибин боялся прямо высказать Василию Назарычу свои соображения насчет Сергея Александрыча и На-

дежды Васильевны, которых точно сама судьба столкнула в Гарчиках, но в одном месте упомянул, что Надежда Васильевна «большую силу имеет над Приваловым и, можно сказать, даже они спасли его от пьянства и картежной игры». Это Нагибину рассказывал сам Привалов. Ввиду всех этих обстоятельств Василий Назарыч и поехал сам в Гарчики; он раньше уже думал об этом несколько раз.

— Они встали; пожалуйте, Василий Назарыч, — говорил Нагибин, появляясь в дверях. — Я сказал им, что приведу такого гостя, такого гостя, о каком они и думать не смеют. Сначала не поверили, а потом точно даже немножко испужались...

Старик неудержимо болтал всю дорогу, пока они шли от избы старосты Доронин до мельничного флигелька; он несколько раз от волнения снимал и надевал шапку. У Бахарева дрогнуло сердце, когда он завидел наконец ту кровлю, под которой жила его Надя, — он тяжело дышал и чувствовал, как у него дрожат ноги.

— Вот сюда пожалуйте... — говорил Нагибин, отворяя калитку во двор флигелька.

Вот и передняя, потом большая комната с какими-то столами посредине, а вот и сама Надя, вся в черном, бледная, со строгим взглядом... Она узнала отца и с радостным криком повисла у него на шее. Наступила долгая пауза, мучительно счастливая для всех действующих лиц, Нагибин потихоньку плакал в холодных сенях, творя про себя молитву и торопливо вытирая бумажным платком катившиеся по лицу слезы.

— Вот я приехал к тебе... сам приехал... — шептал Василий Назарыч, рассматривая свою Надю пристальным взглядом. — Состарился совсем... хотел тебя увидать...

Надежда Васильевна провела отца в заднюю половину флигелька, где она занимала две крошечных комнатки; в одной жила сама с Маней, а в другой Павла Ивановна. Старушка узнала по голосу Василия Назарыча и другим ходом вышла в сени, чтобы не помешать первым минутам этого свидания.

— У меня, папа, нет отдельной приемной, — говорила Надежда Васильевна, начиная прибирать разбросанные везде детские игрушки.

Старик покосился в угол, где стояла маленькая детская кроватка; его точно что кольнуло, и Надежда Васильевна заметила, как он отвернулся, стараясь смотреть в другую сторону. Маленькая Маня спала детским крепким сном, не подозревая, какую душевную муку подняло в душе старика ее невинное присутствие в этой комнате.

— Ну, как ты живешь здесь?.. — заговорил Василий Назарыч после короткой, но тяжелой паузы. — Все с твоей школой да с бабами возишься? Слышал, все слышал... Сорока на хвосте приносила весточки. Вон ты какая сама-то стала: точно сейчас из монастыря. Ведь три года не видались...

В голосе старика опять послышались глухие слезы, но он сдержал себя на этот раз. Надежда Васильевна от сильного волнения не знала, что ей делать и что говорить. Она так давно не видала отца, которого всегда безумно любила. В ее глазах это был идеальный человек: добрый, великодушный, энергичный. Она забыла об отношениях лично к ней, а видела отца только таким, каким всегда любила его. Эта представительная стариковская фигу-

ра, эта седая большая голова, это открытое энергичное лицо, эти строгие и ласковые глаза — все в нем было для нее дорого, и она сто раз принималась целовать отца. От неожиданного счастья она теряла голову и плохо помнила, что говорила, повторяя одни вопросы и отвечая невпопад. Радость, и слезы, и горе — все это перемешалось в одно чувство, которое придавало Надежде Васильевне неизъяснимую прелесть в глазах отца. Девушка превратилась в женщину, но какую женщину... Разве это была чета другим женщинам! В дочери старик любил самого себя, те именно душевные качества, какие уважал в людях больше всего: прямоту характера, честность и тот особенный склад душевности, какая так редко встречается.

Трудовая, почти бедная обстановка произвела на Василия Назарыча сильное впечатление, досказав ему то, чего он иногда не понимал в дочери. Теперь, как никогда, он чувствовал, что Надя не вернется больше в отцовский дом, а будет жить в том мирке, который создала себе сама.

— Я не приехал бы к тебе, если бы был уве-

рен, что ты сама навестишь нас с матерью... — говорил он. — Но потом рассудил, что тебе, пожалуй, и незачем к нам ездить: у нас свое, у тебя свое... Поэтому я тебя не буду звать домой, Надя; живи с богом здесь, если тебе здесь хорошо...

— Да, мне, папа, здесь очень хорошо. Я не желаю ничего лучшего.

Когда первый прилив радости миновал, Надежда Васильевна почувствовала неприятное сомнение: именно, ей казалось, что отец не высказал прямо цели своего приезда и что-то скрывает от нее. Это было написано на его лице, хотя он и старался замаскировать что-то.

Их разговор разбудил маленькую Маню. Девочка заспанными темными глазками посмотрела на старика и улыбнулась заспанной блаженной улыбкой.

— Маня, деду приехал, — говорила Надежда Васильевна, вынимая девочку из кровати. — Настоящий, наш деду.

Девочка пристально посмотрела на седого старика и, крепко обхватив шею матери, коротко ответила:

— Нет...

— Какая хорошенькая девочка у тебя... — проговорил Василий Назарыч, пробуя приласкать девочку. — у, Маня, давай познакомимся...

— Нет...

Девочка прильнула к матери и ни за что не хотела идти на руки к седому настоящему деду; она несколько раз пристально и недоверчиво заглянула в глаза матери, точно подозревая какую-то измену.

Опять вышла тяжелая и неприятная сцена.

Появление Павлы Ивановны с самоваром прекратило неловкое положение обеих сторон, а маленькая Маня весело улыбнулась старушке.

— Вот я и приехал в ваш монастырь, Павла Ивановна, — шутил Василий Назарыч. — У меня где-то есть еще человек, да спит он. Пусть проспится, тогда и покажу его вам.

После чая Василий Назарыч ходил с Нагибиным осматривать мельницу, которая была в полном ходу, и остался всем очень доволен. Когда он вернулся во флигелек, Веревкин был уже там. Он ползал по полу на четвереньках,

изображая медведя, а Маня визжала и смеялась до слез. Веселый дядя понравился ей сразу, и она доверчиво шла к нему на руки.

На мельнице Василий Назарыч прожил целых три дня. Он подробно рассказывал Надежде Васильевне о своих приисках и новых разведках: дела находились в самом блестящем положении и в будущем обещали миллионные барыши. В свою очередь, Надежда Васильевна рассказывала подробности своей жизни, где счет шел на гроши и копейки. Отец и дочь не могли наговориться: полоса времени в три года, которая разделяла их, послужила еще к большему сближению.

— Ну, я завтра еду домой, Надя... — проговорил Василий Назарыч на третий день вечером, когда они остались в комнате вдвоем.

Надежда Васильевна почувствовала, что вот теперь-то и начнется то тяжелое объяснение, которого она так боялась все время. Она даже побледнела вся и опустила глаза.

— Мне нужно серьезно поговорить с тобой... — продолжал старик, привлекая к себе дочь. — Будем говорить с тобой как старые друзья. Я был виноват пред тобой, но ты ста-

рого зла не помнишь... Я слишком много мучился за все это время, чтобы еще сердиться на старика. Стар я стал, Надя, годы такие подходят, что и о смерти нужно подумать... Не сегодня-завтра все будет кончено, и должен буду дать отчет самому богу во всех своих земных делах и помышлениях. Вот я и думаю умру, ты останешься одна с маленькой девочкой на руках... Конечно, ты работаешь и свою голову всегда прокормишь, но что тебя ждет впереди? Полное одиночество... А ведь ты еще молода, жизнь долга, старое горе износится... Голубчик, надо подумать и о себе! Ты теперь не маленькая, а взрослая женщина, которая может понимать все... Я вот и думаю о тебе, а сердце так и обливается кровью. Тяжело мне будет умирать, Надя, когда ты остаешься не к шубе рукав, как говаривали старинные люди.

Старик замолчал и с трудом перевел дух. Ему трудно было продолжать, и он несколько раз нервным движением пощупал свою голову.

— Скажу тебе прямо, Надя... Прости старика за откровенность и за то, что он суется не в

свои дела. Да ведь ты-то моя, кому же и позаботиться о дочери, как не отцу?.. Ты вот растишь теперь свою дочь и пойми, чего бы ты ни сделала, чтобы видеть ее счастливой.

— Да, это верно, папа. Только я никогда не стала бы ничего ей навязывать.

— И это верно, Надя... на словах. А как не скажешь, когда тебя сосет известная мысль, неотступно сосет? Я тебе не хочу ничего навязывать, а только выскажу свою мысль, свое заветное желание, с которым умру. Видишь, есть такой человек, который любит тебя, давно любит, и с ним ты была бы счастлива и его сделала бы счастливым. Да и не только его и нас, а и всех тех, для кого теперь трудишься из последних сил. Ты-то вот сама не замечала этого человека, а мы его видели и видим, как он тебя любит. Конечно, все мы люди — все человеки, у всех есть свои недостатки, но...

— Папа, ты забываешь, что я еще только недавно сняла траур.

— Деточка, что же из этого? Ну, я скоро помру, будешь носить по мне траур, разве это доказательство? Все помрем, а пока живы — о живом и будем думать... Ты знаешь, о ком я

говорю?

— Да...

— Ну, будем говорить серьезно. Ты теперь большая и понимаешь, что в жизни больше горя, чем радости, если только думать о самом себе... Так?.. Теперь ты только хочешь жить для своей девочки и для других... Так? Хорошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще будешь счастлива, — проиграют от этого те люди, для которых ты желаешь жить? Ну, отвечай по совести... Конечно, нет, а неизмеримо выиграют. Даже свахи говорят, что две головешки горят вместе светлее... Мертвых мы с тобой никогда не воротим, а о живых следует подумать. Заметь, что от твоего личного счастья родится счастье, может быть, сотен и тысяч других людей... Об этом следует подумать. Это наш первый христианский долг. Второй раз ты не сделаешься девушкой, а хорошей женой будешь. Тебя удивляет и, может быть, оскорбляет моя стариковская откровенность, но войди в мое положение, деточка, поставь себя на мое место; вот я старик, стою одной ногой в могиле, целый век прожил, как и другие, с грехом пополам,

теперь у меня в руках громадный капитал... Что я буду делать? Второй жизни у меня не будет, и мой капитал пойдет прахом, все равно, кому бы он ни достался: Косте, Виктору, Веревкину или Марье Степановне. Тебе отдать все — не возьмешь... А у меня есть большой долг, Надя. Я взят был к Павлу Михайлычу сиротой, и твоя мать — тоже. Мы выросли под крылышком у старика, выучились, поженились — все от него имеем. Когда он умирал, я один из его воспитанников был у его постели, и он положил мне завет: беречь его дочь Варвару и внука. Что от меня зависело, как ты сама знаешь, я все делал. Теперь мне остается только завещать свои деньги Сергею Александрычу, пусть со временем выкупает заводы... Не продали бы заводов, если бы у меня тогда на Варваринском не случилась беда да нога меня не продержала дома целый год. Ну, скажу тебе откровенно, Сергея Александрыча я люблю и уважаю, но не могу ему всего доверить... У него много недостатков, хотя он был бы совсем другим человеком в хороших руках. Ты сама это знаешь, и, наверно, думала то же самое не раз.

Старик обнял дочь и каким-то задыхавшимся шепотом проговорил:

— Если у меня будет внук, маленький Привалов, все, что имею теперь и что буду иметь, — все оставлю ему одному... Пусть, когда вырастет большой, выкупит Шатровские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь с Сергеем умрет последний из Привалових!..

Надежда Васильевна тихо плакала, старик горячо ее целовал.

— Я не говорю: сейчас, завтра... — продолжал он тем же шепотом. — Но я всегда скажу тебе только то, что Привалов любил тебя раньше и любит теперь... Может быть, из-за тебя он и наделал много лишних глупостей! В другой раз нельзя полюбить, но ты можешь привыкнуть и уважать второго мужа... Деточка, ничего не отвечай мне сейчас, а только скажи, что подумаешь, о чем я тебе говорил сейчас. Если хочешь, я буду тебя просить на коленях...

— Папа, дорогой... милый папа... я ничего не знаю, — стонала Надежда Васильевна. — Дай мне подумать... Я слишком несчастна...

пожалей меня.

Прошло три года. В светлые солнечные дни по Нагорной улице в Узле можно было всегда встретить седого старика, который, прихрамывая, гулял с пятилетней темноглазой девочкой. Это был Василий Назарыч. По совету своего доктора он каждый день делал моцион от своего дома до приваловского и обратно; на прииски он больше не ездил, а его заменил Веревкин. Раз осенью, когда выдался особенно теплый денек, старик вывел из приваловского подъезда полуторагодового мальчика с большими серыми глазами: это был законный внук Василия Назарыча, Павел Привалов.

Основная идея упрямого старика восторжествовала: если разлетелись дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду.

ХЛЕБ

(Роман)

История страшного голода в самых хлебных районах Сибири, вызванного тем, что в течение нескольких лет излишки собранного хлеба отправлялись на винокуренные заводы, так что никаких резервов в регионе не оставалось.

Часть I

Глава 1

— А ты откедова взялся-то, дедко?

— А божий я…

— Божий, обшит кожей?.. Знаем мы вашего брата, таких-то божьих… Говори уж пряменько: бродяга?

— Случалось… От сумы да от тюрьмы не отказывайся, миленький. Из-под Нерчинска убег, с рудников.

— Так-то вот ладнее будет… Каторжный, значит?

— Как есть каторжный: ни днем, ни ночью

покоя не знаю.

— Ну, мы тебя упокоим... К начальству предоставим, а там на высидку определят пока што.

Толпа мужиков обступила старика и с удивлением его рассматривала. Да и было чему подивиться. Сгорбленный, худенький, он постоянно улыбался, моргал глазами и отвечал зараз на все вопросы. И одет был тоже как-то несообразно: длинная из синей пестрядины рубаха спускалась ниже колен, а под ней как есть ничего. На ногах были надеты шерстяные бабьи чулки и сибирские коты. Поверх рубахи пониток, а на голове валеная крестьянская белая шляпа. За плечами у старика болталась небольшая котомка. В одной руке он держал берестяный бурачок, а в другой длинную черемуховую палку. Одним словом, необычный человек.

— Бурачок-то у тебя зачем, дедко?

— Бурачок?.. А это хитрая штука. Секрет... Он, бурачок-то, меня из неволи выкупил.

— Он и то с бурачком-то ворожил в курье, — вступился молодой парень с рябым лицом. — Мы, значит, косили, а с угору и видно,

как по осокам он ходит... Этак из-под руки приглянет на реку, а потом присядет и в бурачок себе опять глядит. Ну, мы его и взяли, потому... не прост человек. А в бурачке у него вода...

— Ты чего, дедко, на нашу-то реку обзарился?

— А больно хороша река, вот и глядел... ах, хороша!.. Другой такой, пожалуй, и не найти... Сердце радуется.

Старик оглянул мужиков своими моргавшими глазками, улыбнулся и прибавил:

— Я старичок, у меня бурачок, а кто меня слушает — дурачок... Хи-хи!.. Ну-ка, отгадайте загадку: сам гол, а рубашка за пазухой. Всею деревней не угадать... Ах, дурачки, дурачки!.. Поймали птицу, а как зовут — и не знаете. Оно и выходит, что птица не к рукам...

— Да што с ним разговоры-то разговаривать! — загалдело несколько голосов разом. — Сади его в темную, а там Флегонт Василич все разберет... Не совсем умом-то старичонко...

— Больно занятный! — вмешались другие голоса. — На словах-то, как гусь на воде... А блаженненьким он прикидывается, старый

хрен!

Описываемая сцена происходила на улице, у крыльца суслонского волостного правления. Летний вечер был на исходе, и возвращавшийся с покосов народ не останавливался около волости: наработавшиеся за день рады были месту. Старика окружили только те мужики, которые привели его с покоса, да несколько других, страдавших неизлечимым любопытством. Село было громадное, дворов в пятьсот, как все сибирские села, но в страду оно безлюдело.

— Отпустить его, чего взять со старика? — заметил кто-то в толпе. — Много ли он и наживет? Еле душа держится...

— Не пущайте, дурачки! — засмеялся старик. — Обеими руками держитесь за меня... А отпустите — больше и не увидите.

— Нет, надо Флегонта Василича обождать, робя!.. Уж как он вырешит это самое дело, а пока мы его Вахрушке сдадим.

Волостной сторож Вахрушка сидел все время на крылечке, слушал галденье мужиков и равнодушно посасывал коротенькую солдатскую трубочку-носогрейку. Когда состоялось

решение посадить неизвестного человека в темную, он молча поднялся, молча взял старика за ворот и молча повел его на крыльцо. Это был вообще мрачный человек, делавший дело с обиженным видом. В момент, когда расщелявшаяся дверь волостного правления готова была проглотить свою жертву, послышался грохот колес и к волости подкатили длинные дроги. Мужики сняли свои шапки. На дрогах, на подстилке из свежего сена, сидели все важные лица: впереди всех сам волостной писарь Флегонт Васильевич Замараев, плечистый и рябой мужчина в плисовых шароварах, шелковой канаусовой рубахе и мягкой серой поярковой шляпе; рядом с ним, как сморчок, прижался суслонский поп Макар, худенький, загорелый и длинноносый, а позади всех мельник Ермилыч, рослый и пухлый мужик с белобрысым ленивым лицом. Писарь только взглянул на стоявшего на крыльце старика с котомкой и сразу понял, в чем дело.

— Бродягу поймали? — коротко спросил он.

— Был такой грех, Флегонт Василич... В

том роде, как утенок попался: ребята с покоса привели. Главная причина — не прост человек. Мало ли бродяжек в лето-то пройдет по Ключевой; все они на один покрой, а этот какой-то мудреный и нас всех дурачками зовет...

— Ну-ка, ты, умник, подойди сюда! — приказал писарь.

Старик подошел к дрогам и пристально посмотрел на сидевшую знать своими моргавшими глазками.

— Умник, а порядка не знаешь! — крикнул писарь, сшибая кнутовищем с головы старика шляпу. — С кем ты разговариваешь-то, варнак?

— Пока ни с кем... — дерзко ответил старик. — Да моей пестрядине с твоим плисом и разговаривать-то не рука.

— Што за человек? Как звать? — грянул писарь.

— Прежде Михеем звали...

— А фамилия как?

— Человек божий...

— Непомнящий родства?

— Где же упомнить, миленький? Давнень-

ко ведь я родился...

— Да што с ним разговаривать-то! — лениво заметил мельник Ермилыч, позевывая. — Вели его в темную, Флегонт Василич, а завтра разберешь... Вот мы с отцом Макаром о чае соскучились. Мало ли бродяжек шляющих по нашим местам...

— А какой ты веры будешь, старичок? — спросил о. Макар.

— Веры я христианской, батюшка.

— Православной?

— Около того.

— И видно, што православный. Не то тавро...

— Уж какое есть.

— Из ваших, — смиренно заметил о. Макар, обращаясь к мельнику Ермилычу.

— Имеет большую дерзость в ответах, а, между прочим, человек неизвестный.

— Да ну его к ляду! — лениво протянул мельник. — Охота вам с ним разговаривать... Чаю до смерти охота...

Писарь сделал Вахрушке выразительный знак, и неизвестный человек исчез в дверях волости. Мужики все время стояли без шапок,

даже когда дроги исчезли, подняв облако пыли. Они постояли еще несколько времени, погалдели и разбрелись по домам, благо уже солнце закатилось и с реки потянуло сыростью. Кое-где в избах мелькали огоньки. С ревом и блеяньем прошло стадо, возвращавшееся с поля. Трудовой крестьянский день кончался.

Темная находилась рядом со сторожкой, в которой жил Вахрушка. Это была низкая и душная каморка с соломой на полу. Когда Вахрушка толкнул в нее неизвестного бродягу, тот долго не мог оглядеться. Крошечное оконце, обрешеченное железом, почти не давало света. Старик сгрудил солому в уголок, снял свою котомку и расположился, как у себя дома.

— Вот бог и квартиру послал... — бормотал он, покряхтывая. — Что же, квартира отменная.

Вахрушка в это время запер входную дверь, закурил свою трубочку и улегся с ней на лавке у печки. Он рассчитывал, по обыкновению, сейчас же заснуть.

— Эй, служба, спишь? — послышался голос

из темной.

— Сплю, а тебе какая печаль?

— Ты в солдатах служил?

— Случалось... А ты у меня поговори!..

Молчание. Вахрушка вздыхает. И куда эти бродяги только идут? В год-то их близко сотни в темной пересидит. Только настоящие бродяги приходят объявляться поздно осенью, когда ударят заморозки, а этот какой-то оглашенный. Лежит Вахрушка и думает, а старик в темной затянул:

— Се жених грядет во полунощи и блажен раб, его же обрящет бдяща...

— Эй, будет тебе, выворотень! — крикнул Вахрушка. — Нашел время горло драть...

— Да я духовное, служба... А ты послушай: «И блажен раб, его же обрящет бдяща», а ты дрыхнешь. Это тебе раз... А второе: «Недостоин, его же обрящет унывающа»... Понимаешь?

— Вот навязался-то! — ворчал Вахрушка.

Опять молчание. Слышно, как по улице грузно покатилась телега. Где-то далеко, точно под землей, лают неугомонные деревенские собаки.

— Ты не здешний? — спрашивает старик, укладываясь на соломе.

— А ты как знаешь?

— Да видно по обличью-то... Здесь все пшеничники живут, богатей, а у тебя скула не по-богатому: может, и хлеб с хрустом ел да с мякиной.

— Я чердынский... Это верно. Убогие у нас места, земля холодная, неродимая. И дошлый же ты старичонко, как я погляжу на тебя!

— Дошлый, да про себя... А поп у вас богатый?

— Богатимый поп... Коней одних у него с тридцать будет, больше сотни десятин запахивает. Опять хлеба у попа не в проворот: по три года хлеб в кладях лежит.

— А писарь?

— И писарь богатимый... Не разберешь, кто кого богаче. Не житье им здесь, а масленица... Мужики богатые, а земля — шуба шубой. Этого и званья нет, штобы навоз вывозить на пашню: земля-матушка сама родит. Вот какие места здесь... Крестьяны государственные, наделы у них большие, — одним елевом, пшеничники. Рожь сеют только на

продажу... Да тебе-то какая печаль? Вот привязался человек!

— А мельник у вас плут: на руку нечист.

— Да ты почем знаешь, что он мельник?

— А по сапогам вижу: бус[40] на сапогах, значит мельник.

Вахрушка даже сел на своем конике, пораженный наблюдательностью неизвестного бродяги. Вот так старичонко задался: на два аршина под землей все видит. Вахрушка в конце концов рассердился:

— Да ты што допытываешь-то меня, окаянная твоя душа? Вот завтра тебе Флегонт Василич покажет... Он тебя произведет. Вишь, какой дошлый выискался!

— Страшен сон, да милостив бог, служба. Я тебе загадку загадаю: сидит баба на грядке, вся в заплатках, кто на нее взглянет, тот и заплачет. Ну-ка, угадай?

— Капуста.

— Ах, дурачок, дурачок, и этого не знаешь! Лук, дурашка... Ну, а теперь спи: утро вечера мудренее.

— Да ты што ругаешься-то в самом деле? — зарычал Вахрушка, вскакивая.

— Полюбил я тебя, как середа пятницу… Как увидал, так и полюбил. Сроду не видались, а увиделись — и сказать нечего. Понял?.. Хи-хи!.. А картошку любишь? Опять не понял, служба… Хи-хи!.. Спи, дурачок.

Глава 2

Утром писарь Замараев еще спал, когда пришел к нему волостной сторож Вахрушка.

— Гости у нас вечор засиделись, — объясняла ему стряпка. — Ну, выпили малость с отцом Макаром да с мельником. У них ведь компания до белого свету. Люты пить… Пельмени заказали рыбные, — ну, и компанились. Мельник Ермилыч с радостей и ночевать у нас остался.

Вахрушка был настроен необыкновенно мрачно. Он присел на порог и молча наблюдал, как стряпка возилась у топившейся печи. Время от времени он тяжело вздыхал, как загнанный коренник.

— Сказывают, вечор наши суслонские ребята бродяжку в курье поймали? — таратори-ла стряпуха, громыхая ухватами.

— А тебе какая забота? — озлился Вахруш-

ка.

Молва говорила, что у Вахрушки с писарскою стряпкой Матреной дело нечисто. Главным доказательством служили те пироги, которые из писарской кухни попадали неведомыми никому путями в волостную сторожку. Впрочем, Матрена была вдова, хотя и в годках, а про вдову только ленивый не наплетет всякой всячины. Писарский пятистенный дом, окруженный крепкими хозяйственными постройками, был тем, что называется полною чашей. Недаром Флегонт Васильевич целых двадцать пять лет выслужил писарем в Суслоне. На всю округу славился суслонский писарь и вторую жену себе взял городскую, из Заполья, а запольские невесты по всему Уралу славятся — богачки и модницы. К своему богатству Замараев прибавил еще женино приданое и жил теперь в Суслоне князь князем.

— Ах, пес! — обругался неожиданно Вахрушка, вскакивая с порога. — Вот он к чему про картошку-то меня спрашивал, старый черт... Ну, и задался человечек, нечего сказать!

Когда писарь, наконец, проснулся, Вахрушка вошел в горницу и, остановившись на пороге, заявил:

— Как хошь, Флегонт Василич, а я боюсь.

— Кого испугался-то? — удивился не прочухавшийся хорошенько после вчерашних пельменей писарь.

— А этого самого бродяги. В тоску меня вогнал своими словами. Я всю ночь, почитай, не спал. И все загадки загадывает. «А картошку, грит, любишь?» Уж я думал, думал, к чему это он молвил, едва догадался. Он это про бунт словечко закинул.

— Про картофельный бунт? — вскипел вдруг писарь. — Ах, мошенник! Да я его в три дуги согну!.. я...

— Колдун какой-то, я так полагаю.

— Ну, это пустяки! Я ему покажу... Ступай теперь в волость, а я приду, только вот чаю напьюсь.

— А ежели он што надо мной сделает, Флегонт Василич? Боюсь я его.

— Ступай, дурак!

Вахрушка почесал в затылке и почтительно выпятился в двери. Через минуту мимо

окон мелькнула его вытянутая солдатская фигура.

Село Суслон, одно из богатейших зауральских сел, красиво разлеглось на высоком правом берегу реки Ключевой. Ряды изб, по сибирскому обычаю, выходили к реке не лицом, а огородами, что имело хозяйственное значение: скотину поить ближе, а бабам за водой ходить. На самом берегу красовалась одна белая каменная церковь, лучшая во всей округе. От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и на неоглядные поля, занявшие весь горизонт, и на соседние деревни, лепившиеся по обоим берегам Ключевой почти сплошь: Роньжа, Заево, Бакланиха. Вдали, вниз по течению Ключевой, грязным пятном засела на Жулановском плесе мельница-раструска Ермилыча, а за ней свечой белела колокольня села Чуракова. Вверх по течению Ключевой владения суслонских мужиков от смежных деревень отделяла Шеинская курья, в которой поймали вчера мудреного бродягу. Повыше этой курьи река была точно сжата крутыми берегами, — это был Прорыв. Летом можно было залюбоваться окрестностями

Суслона.

В сороковых годах Суслон сделался центром странного «картофельного бунта». Дело вышло из-за министерского указа об обязательном посеве картофеля. Запольский уезд населен исключительно государственными крестьянами, объяснившими обязательный посев картофеля как меру обращения в крепостную зависимость. Темная крестьянская масса всколыхнулась почти на расстоянии всего уезда, и волнение особенно сильно отразилось в Суслоне, где толпа мужиков поймала молодого еще тогда писаря Замараева и на веревке повела топить к Ключевой как главного виновника всей беды, потому что писаря и попы скрыли настоящий царский указ. В этот критический момент, когда смерть была на носу, писарь пустился на отчаянную штуку.

— Ведите меня в волость, я все покажу! — смело заявил он.

Когда тысячная толпа привела писаря в волость, он юркнул за свой стол, обложился книгами и еще смелее заявил:

— Ну-ка, возьмите меня через закон. Вот

он, закон-то, весь тут.

Мужики совершенно растерялись, что им делать с увертливым писарем. Погалдели, поругались и начали осаживать к двери.

— Робята, пойдем домой! — послышался первый голос, и вся толпа отхлынула от волости, как морская волна.

Находчивость неизвестного писарька составила ему карьеру и своего рода имя. Так он и остался в Суслоне. Вот именно этот неприятный эпизод и напомнил ему Вахрушка своею картошкой.

Напившись на скорую руку чаю и опохмелившись с гостем рюмкой настойки на березовой почке, он отправился в волость. Ермилыч пошел за ним.

— Надо его проучить, — советовал мельник, когда они подходили к волости.

У волости уже ждали писаря несколько мужиков и стояла запряженная крестьянская телега. Волостных дел в Суслоне было по горло. Писарь принимал всегда важный вид, когда подходил к волости, точно полководец на поле сражения. Мужиков он держал в ежовых рукавицах, и даже Ермилыч проникался к

нему невольным страхом, когда завертывал в волость по какому-нибудь делу. Когда писарь входил в волость, из темной донеслось старческое пение:

Тяжело душеньке с телом расставатися, Тяжелее душеньке во грехах оставатися.

— Вон он, идол, какую обедню развел, — жаловался Вахрушка.

Писарь Замараев занял с приличною важностью свое место за волостным столом, а мельник Ермилыч поместился в качестве публики на обсиженной скамеечке у печки. Ермилыч, как бывший крестьянин, сохранял ко всякой власти подобострастное уважение и участенно вздыхал, любуясь властными приемами дружка писаря.

— Ну-ка, приведи сюда эту ворону! — лениво сказал Замараев, для пущей важности перелистывая книгу входящих бумаг.

Вахрушка молодцевато подтянулся и сделал налево кругом. Таинственный бродяга появился во всем своем великолепии, в длинной рубахе, с котомочкой за плечами, с бурачком в одной руке и палкой в другой.

Писарь сделал вид, что не замечает его,

продолжая перелистывать журнал, а потом быстро поднял глаза и довольно сурово спросил:

— Бродяга? Непомнящий родства? Так... А прозвище?

— Колобок, — смело ответил старик, с улыбочкой поглядывая на мельника.

— Божий человек, значит.

— Слыхали, — протянул писарь. — Много вас, таких-то божьих людей, кажное лето по Ключевой идет. Достаточно известны. Ну, а дальше што можешь объяснить? Паспорт есть?

— По сусекам метен, по закромам скребен, — вот тебе и весь паспорт.

Писарь ударил кулаком по столу и закричал:

— Ты петли-то не выметывай, ворона желторотая! Говори толком, когда спрашивают!

— Не кричи ты на меня, пужлив я... Ох, напужал!

Бродяга скорчил такую рожу, что Ермилыч невольно фыркнул и сейчас же испугался, закрыв пасть ладонью. Писарь сурово скосил на него глаза и как-то вдруг зарычал, так что от-

дельных слов нельзя было разобрать. Это был настоящий поток привычной стереотипной ругани.

— Да я тебя заморю! сгною! изотру в порошок!.. Да я... я... я...

Ермилыч даже закрыл глаза, когда задыхавшийся под напором бешенства писарь ударил кулаком по столу. Бродяга тоже съежился и только мигал своими красными веками. Писарь выскочил из-за стола, подбежал к нему, погрозил кулаком, но не ударил, а израсходовал вспыхнувшую энергию на окно, которое распахнул с треском, так что жалобно зазвенели стекла. Сохранял невозмутимое спокойствие один Вахрушка, привыкший к настоящему обращению всякого начальства.

— Ну, что ты молчишь, а? — ревел писарь, усаживаясь на место и приготовляя бумагу, чтобы записать дерзкого бродягу. — Откуда ползешь?

— Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от дедки ушел и от тебя, писарь, уйду, — спокойно ответил бродяга, переминаясь с ноги на ногу.

— Ах, ты... да я... я...

Писарь только хотел выскочить из-за стола, но бродяга его предупредил и одним прыжком точно нырнул в раскрытое окно, только мелькнули голые ноги.

— Держи его, подлеца! Лови! — орал Замараев, подбегая к окну.

Сидевшие на крыльце мужики видели, как из окна волости шлепнулся бродяга на землю, быстро поднялся на ноги и, размахивая своею палкой, быстро побежал по самой средине улицы дробною, мелкою рысцой, точно заяц.

— Держи его! Лови! — кричал Замараев, выставляясь из окна. — Эй вы, челдоны, чего вы смотрите?

Какой-то белобрысый парень «пал» на телегу и быстро погнался за бродягой, который уже был далеко. На ходу бродяга оглядывался и, заметив погоню, прибавил ходу.

— Ловко щекотит, — заметил какой-то голос из толпы. — Ай да бродяга, настоящий скороход!

Бродяга действительно оказал удивительную легкость на ногу и своим дробным шагом летел впереди догонявшей его телеги. Крестьянская лошаденка, лохматая и пузатая, с

трудом поспевала за ним, делая отчаянные усилия догнать. Белобрысый парень неистово лупил ее вожжами и что-то такое орал. Кое-где из окон деревенских изб показывались бабьи головы в платках, игравшие на улице ребятишки сторонились, а старичок все бежал, размахивая своею палочкой. Так он добежал до последних худеньких избенок я заметно сбавил шагу. Телега стала его догонять. Попались какие-то мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу, но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал:

— Эх, дурачки, куда вам ловить Колобка!

За селением он опять прибавил шагу. У поскотины,[41] где стояли ворота, показались встречные мужики, ехавшие в Суслон. Белобрысый парень неистово закричал им:

— Держи варнака! Держи!

Бродяга на мгновение остановился, смерил глазами расстояние и тихою рысцой, как травленый волк, побежал в сторону реки. Телега осталась на дороге, а за ним теперь погнался какой-то рыжий мужик на захомутанной рыжей лошади. Он был без шапки и отчаянно болтал локтями. Бродяга опять остано-

вился, потому что рыжий мужик летел к нему наперерез, а потом усиленною рысью побежал к недалекой поскотине. Здесь рыжий мужик чуть-чуть его не догнал, но бродяга одним прыжком перескочил через изгородь и остановился. Теперь он был в полной безопасности, потому что дальше начинался тощий лесок, спускавшийся к реке.

— Эй, дурачки, кланяйтесь своему писарю! — крикнул варнак бежавшим к нему мужикам и, не торопясь, скрылся в лесу.

Погоня сбилась в одну кучку у поскотины. Мужики ошалелыми глазами глядели друг на друга.

— Вот так старичонко! В том роде, как виноходец.[42] Так и стелет, так и стелет.

— Оборотень какой-то, надо полагать.

Подъехавший на телеге белобрысый парень и рыжий мужик на рыжей лошади служили теперь общим посмешищем и поэтому усиленно ругались.

— Ужо вот задаст вам Флегонт-то Василич!

Глава 3

Часов десять утра. Широкий двор, утрамбованный желтым песком, походит на гу-

менный ток. На него с одной стороны глядит большими окнами двухэтажный не штукатуренный каменный дом с террасой, а с другой — расположился плотный ряд хозяйственных пристроек: амбары, конюшни, каретники, сеновалы. Вся постройка крепкая, хозяйственная, как умеют строить только купцы. В углу у деревянной конуры дремлет киргизский желтый волкодав. В середине двора стоят два кучера и держат под уздцы горбоносого и вислозадого киргиза-иноходца, который шарашится, храпит, поводит поротыми ушами и выворачивает белки глаз.

— Эй вы, челдоны, держите крепче! — визгливо кричит с террасы седой толстый старик в шелковом халате.

— Да черт его удержит, Храпуна, — отвечает старший кучер Никита, степенный мужик с окладистой бородой. — Задавить его, вот и весь разговор.

Другой кучер, башкир Ахметка, скуластый молодой парень с лоснящимся жирным лицом, молча смотрит на лошадь, точно впился в нее своими черными глазами.

— Дайте ей поводок! — кричит старик с

террасы.

Кучера отпускают повод, и лошадь делает отчаянный курбет, поднимая Ахметку на воздух. Никита крепко держит волосяной чумбур, откинув назад свой корпус.

— Тпрру!.. Черт кыргыцкой!

— Держите крепче! — кричит старик, размахивая руками. — Ах, галманы!

Лошадь делает отчаянную попытку освободиться от своих мучителей, бьет задними ногами, дрожит и раздувает ноздри.

— Тпрру, анафема!

Старик в халате точно скатывается с террасы по внутренней лесенке и кубарем вылетает на двор. Подобрав полы халата, он заходит сзади лошади и начинает на нее махать руками.

— Спусти чумбур, Никита... Дай поводок... Сперва на корде прогоним. Ахметка, свиное ухо, ты чего глаза-то вытаращил?

Калитка отворяется, и во двор въезжает верхом на вороной высокой лошади молодой человек в черкеске, папахе и с серебряным большим кинжалом на поясе. Великолепная вороная лошадь-степняк, покачиваясь на тон-

ких сухих ногах, грациозно подходит на середину двора и останавливается. Молодой человек с опухшим красным лицом и мутными глазами сонно смотрит на старика в халате.

— Лиодорка, откуда черт принес? — крикливо спрашивает старик, прищуривая свои желтые глазки.

— Где был, там ничего не осталось, — хрипло отвечает молодой человек и по пути вытягивает нагайкой Ахмета по спине.

— Ай-яяй! — взвизгивает башкир, хватаясь за спину. — ан, бачка!..

— Разве так лошадей выводят? — кричит молодой человек, спешиваясь и выхватывая у Ахметки повод. — Родитель, ты ее сзаду пугай... Да не бойся. Ахметка, а ты чего стоишь?

Все четверо начинают гонять пугливого иноходца на корде, но он постоянно срывает и затягивает повод. Кончается это представление тем, что иноходец останавливается, храпит и затягивает шею до того, что из ноздрей показывается кровь.

— Бей его!.. Валяй! — визжит старик, привскакивая на месте.

Никита откинулся всем корпусом назад,

удерживая натянувшийся, как струна, волосяной чумбур, а Лиодор и Ахметка жарят ошалевшую лошадь в два кнута.

— Ой, батюшки, до смерти забьют! — вскрикивает в кухне толстая стряпка Аграфена, высовываясь из окна.

Кухня в подвале, и ей приходится налегать своим жирным телом на тощего старичка странника, который уже давно лежит на подоконнике и наблюдает, что делается во дворе.

— Тетка, этак и задавить можно живого человека! — ворчит странник, напрасно стараясь высвободить свое тощее старое тело из-под навалившегося на него бабьего жира.

— Ох ты, некошной! — ругается стряпка. — Шел бы, миленький, своею дорогой... Поел, отдохнул, надо и честь знать.

Стряпка Аграфена ужасно любит лошадей и страшно мучается, когда на дворе начинают тиранить какую-нибудь новокупку, как сейчас. Главное, воротился Лиодор на грех: забьет он виноходца, когда расстервенится. Не одну лошадь уходил, безголовый.

Странник слез с окна, поправил длинную синюю рубаху, надел котомку, взял в руки бе-

рестяной бурачок и длинную палку и певуче проговорил:

— Спасибо, Аграфенушка, за хлеб, за соль...

Это был тот самый бродяга, который убежал из суслонского волостного правления. Нахлобучив свою валеную шляпу на самые глаза, он вышел на двор. На террасе в это время показались три разодетых барышни. Они что-то кричали старику в халате, взвизгивали и прятались одна за другую, точно взбесившаяся лошадь могла прыгнуть к ним на террасу.

— Папенька!.. Папенька, не бейте лошадку!

— Лиодор, иди сюда, завтрак готов!

Бродяга внимательно посмотрел на визжавших барышень и подошел к Лиодору.

— Дай-ка мне повод-то, хозяин, — заговорил он, протягивая руку.

Лиодор оглянулся и, презрительно смерив бродягу с ног до головы, толкнул его локтем.

— Дай, тебе говорят!

У Лиодора мелькнула мысль: пусть Храпун утешит старичонку. Он молча передал ему повод и сделал знак Никите выпустить чум-

бур. Все разом бросились в стороны. Посреди двора остались лошадь и бродяга. Старик отпустил повод, смело подошел к лошади, потрепал ее по шее, растянул душивший ее чумбур, еще раз потрепал и спокойно пошел вперед, а лошадь покорно пошла за ним, точно за настоящим хозяином. Подведя успокоенного Храпуна к террасе, бродяга проговорил:

— Вот как учат лошадей, сударыни-барышни!

Барышни весело рассмеялись и забили в ладоши, а бродяга отвел лошадь под навес и привязал к столбу.

— Да ты откуда взялся-то, ярыга-мученик? — визгливо спрашивал старик в халате, подступая к бродяге. — Сейчас видно зазнамого конокрада.

— Стоило бы што воровать, Харитон Артемич. Аль не узнал!

— Где всех прощелыг вызнаешь.

— Ну, так я уж сам скажусь: про Михея Зотыча Колобова слыхал? Видно, он самый... В гости пришел, а ты меня прощелыгой да конокрадом навеличиваешь. Полтораста верст пешком шел.

— Вот так фунт! — ахнул Харитон Артемьич, не вполне доверяя словам странного человека. — Слыхивал я про твои чудеса, Михей Зотыч, а все-таки оно тово...

— Ладно... Мне с тобой надо о деле поговорить.

— Пойдем в горницы... Ну, удивил!.. Еще как Лиодорка тебе шею не накостылял: прост он у меня на этакие дела.

— Кормильца вырастил, — ядовито заметил Колобов, поглядывая на снявшего папаху Лиодорку. — Вон какой нарядный: у шутов хлеб отбивает.

— Ох, и не говори!.. Один он у меня, как смертный грех. Один, да дурак, хуже этого не придумаешь.

— Один сын — не сын, два сына — полсына, а три сына — сын... Так старинные люди сказывали, Харитон Артемьич. Зато вот у тебя три дочери.

— Наградил господь... Ох, наградил! — както застонал Харитон Артемьич, запахивая халат. — Как их ни считай, все три девки выходят... Давай поменяемся: у тебя три сына, а у меня три дочери, — ухо на ухо сменяем, да

Лиодорку прикину впридачу.

Теперь все с удивлением оглядывали странного гостя: кучера, стряпка, Лиодор, девицы с террасы. Всех удивляло, куда это тятенька ведет этого бродягу.

— Как он сказался по фамилии-то? — спрашивал Лиодор кучера.

— Коробов али Колобов, — не разобрал хорошенько.

— Вот так фунт! — удивился в свою очередь Лиодор. — Это, значит, родитель женихов-то, которые наезжали на той неделе... Богатеющий старичонко!

Стряпка Аграфена услыхала это открытие и стрелой ринулась наверх, чтобы предупредить «самое» и девиц. Она едва могла перевести дух, когда ворвалась на террасу, где собрались девицы.

— Барышни... родные... Ведь этот странник-то... странник-то... — бормотала она, делая отчаянные жесты.

— Да вон он с тятенькой у крыльца остановился... Сестрицы, тятенька сюда его ведет!

— Барышни... ох, задохлась! Да ведь это женихов отец... Два брата-то наезжали на той

неделе, так ихний родитель. Сам себя обозначил.

Все девицы взвизгнули и стайкой унеслись в горницы, а толстуха Аграфена заковыляла за ними. «Сама» после утреннего чая прилегла отдохнуть в гостиной и долго не могла ничего понять, когда к ней влетели дочери всем выводком. Когда-то красивая женщина, сейчас Анфуса Гавриловна представляла собой типичную купчиху, совсем заплывшую жиром. Она сидела в ситцевом «холодае» и смотрела испуганными глазами то на дочерей, то на стряпку Аграфену, перебивавших друг друга.

— Женихов отец, мамынька, приехал... Колобов старик.

— Не приехал, а пешком пришел. С палочкой идет по улице, я сама видела, а за плечами котомка.

— Дайте мне словечушко вымолвить, — хрипела Аграфена, делая умоляющие жесты. — Красавицы вы мои, дайте...

— Молчите вы, девицы! — окликнула дочерей «сама». — А ты говори, Аграфена, да поскорее.

— Ох, задохлась!.. Стряпаю я это даве утром у печки, оглянулась, а он и сидит на лавочке... Уж отколь он взялся, не могу сказать, точно вот из земли вырос. Я его за странного человека приняла... Ну, лепешки у нас к чаю были, — я ему лепешку подала. Ей-богу!.. Прикушал и спасибо сказал. Потом Никита с Ахметкой вертелись в куфне и с ним што-то болтали, а уж мне не до них было. Ну, потом кучера ушли виноходца нового выводить, а он в куфне остался. Подсел к окошечку и глядит на двор, как виноходец артачится... Я еще чуть не задавила его: он в окошке-то, значит, прилег на подоконник, а я забыла о нем, да тоже хотела поглядеть на двор-то, да на него и навалилась всем туловом.

— Ах, батюшки! — застонала Анфуса Гавриловна, хватаясь за голову. — Да ведь ты, Аграфенушка, без ножа всех зарезала... Навалилась, говоришь?.. Ах, грех какой!..

— Мамынька, зачем же он в куфню забрался? — заметила старшая дочь Серафима. — Ты только посмотри на него, каков он из себя-то. На улице встретишь — копеечку подашь.

— В том роде, как бродяга али странник, —

объясняла Аграфена в свое оправдание. — Рубаха на нем изгребная, синяя, на ногах коты... Кабы знатье, так разе бы я стала его лепешкой кормить али наваливаться?

— Ну, ну, ладно! — оборвала ее Анфуса Гавриловна. — Девицы, вы приоденьтесь к обеду-то. Не то штоб уж совсем на отличку, а как порядок требовает. Ты, Харитинушка, бареже-во платье одень, а ты, Серафимушка, шелковое, канаусовое, которое тебе отец из Ирбитской ярманки привез... Ох, Аграфена, сняла ты с меня голову!.. Ну, надо ли было дурище наваливаться на такого человека, а?.. Растерзать тебя мало...

Младшие девицы, Агния и Харитина, особенно не тревожились, потому что все дело было в старшей Серафиме: ее черед выходить замуж. Всех красивее и бойчее была Харитина, любимица отца; средняя, Агния, была толстая и белая, вся в мать, а старшая, Серафима, вступила уже в годы, да и лицо у нее было попорчено веснушками. Глядя на дочерей, Анфуса Гавриловна ругала про себя хитрого старичонка гостя: не застань он их врасплох, не показала бы она Харитины, а бери из любых

Серафиму или Агнию. Уж не первому жениху Харитина заперла дорогу, а выдавать младшую раньше старших не приходится.

Глава 4

— Я тебе наперво домишко свой покажу, Михей Зотыч, — говорил старик Малыгин не без самодовольства, когда они по узкой лесенке поднимались на террасу. — В прошлом году только отстроился. Раньше-то некогда было. Семью на ноги поднимал, а меня господь-таки благословил: целый огород девок. Трех с рук сбыл, а трое сидят еще на гряде.

— Ваши-то запольские невесты на слуху, — поддакивал гость. — Богатые да щеголихи. Далеко слава-то прошла. По другим местам девки сидят да завидуют запольским невестам.

— Уж это што говорить: извелись на модах вконец!.. Матери-то в сарафанах еще ходят, а дочкам фигли-мигли подавай... Одно разоренье с ними. Тяжеленько с дочерями, Михей Зотыч, а с зятьями-то вдвое... Меня-таки прямо наказал господь. Неудачлив я на зятьев.

Гость ничего не отвечал, а только поджал свои тонкие губы и прищурился, причем его

сморщенное обветрелое лицо получило неприятное выражение. Ему не поправился разговор о зятьях своею бестактностью. Когда они очутились на террасе, хозяин с видимым удовольствием оглянул свой двор и все хозяйственные пристройки.

— Хорош дворик, — вслух полюбовался гость. — А што в амбарах-то держишь?

— А разное, Михай Зотыч: и семя льняное, и кудельку, и масло.

— Вот это ты напрасно, Харитон Артемьич. Все такой припас, што хуже пороху. Грешным делом, огонек пыхнет, так костер костром, — к слову говорю, а не беду накликаю.

— Покедова бог хранил. У нас у всех так заведено. Да и дом каменный, устоит. Да ты, Михей Зотыч, сними хоть котомку-то. Вот сюда ее и положим, вместе с бурачком и палочкой.

Гость охотно исполнил это желание и накрыл свои пожитки шляпой. В своей синей рубахе, понитке и котах он походил не то на богомольца, не то на бродягу, и хозяин еще раз пожал плечами, оглядывая его с ног до головы. Юродивый какой-то.

— Што, на меня любуешься? — пошутил Колобов, оправляя пониток. — Уж каков есть: весь тут. Привык по-домашнему ходить, да и дорожка выпала не близкая. Всю Ключевую, почитай, пешком прошел. Верст с двести будет... Так оно по-модному-то и неспособно.

— Шутки шутишь, Михей Зотыч, — усомнился хозяин. — Какая тебе нужда пешком-то было идти столько места?

— А привык я. Все пешком больше хожу: которое место пешком пройдешь, так оно памятливее. В Суслоне чуть было не загостился у твоего зятя, у писаря... Хороший мужик.

Одно имя суслонского писаря заставило хозяина даже подпрыгнуть на месте. Хороший мужик суслонский писарь? Да это прямой разбойник, только ему нож в руки дать... Живодер и христопродавец такой, каких белый свет не видывал. Харитон Артемьич раскраснелся, закашлялся и замахал своими запухшими красными руками.

— И как он обманул меня тогда дочерью-то, когда, значит, женился на Анне, ума не приложу! — упавшим голосом прибавил он, выпустив весь запас ругательств. — Дела

тогда у меня повихнулись немножко, караван с салом затонул, ну, он и подсыпался, писарь. А дочь Анна была старшая и в годках, за ней целый мост их, девок, — ну, он и обманул. Прямой разбойник... Еще и сейчас с меня приданое свое справляет и даже судом грозил. Я бы ему на свои деньги веревку купил, только бы повесился... Вот какие у меня зятья! Да и низко мне с писарями родню-то разводить. Што такое писарь? Приехал становой: «А ну-ка, ты, такой-сякой...» И сейчас в скулу. А я в первой гильдии.

— Всякие и писаря бывают.

— Да стыдно мне, Михей Зотыч, и говорить-то о нем: всему роду-племени покор. Ты вот только помянул про него, а мне хуже ножа... У нас Анна-то и за дочь не считается и хуже чужой.

— Это уж напрасно, Харитон Артемьич. Горденек ты, как я погляжу. И птица перо в перо не родится, а где же зятьев набрать под одну шерсть?

Взглянув на двор, по которому ехал Лиодор верхом на своей лошади, старик подбежал к перилам и, свесившись, закричал:

— Ты это опять куды наклался-то, непутевая голова?.. Который это день музыку-то разводишь? Я до тебя доберусь!.. Я тебе покажу!..

— К Булыгиным, — коротко ответил Лиодор, свешиваясь в седле по-татарски, на один бок.

— Ах, аспид! ах, погубитель! — застонал старик. — Видел, Михей Зотыч? Гибель моя, а не сын... Мы с Булыгиным на ножах, а он, слышь, к Булыгиным. Уж я его, головореза, три раза проклинал и на смирение посылал в степь, и своими руками терзал — ничего не берет. У других отцов сыновья — замена, а мне нож острый. Сколько я денег за него переплатил!

— В годы войдет — образумится.

Харитон Артемьич спохватился, что сгоряча сболтнул лишнее, и торопливо повел мудреного гостя в горницы. Весь второй этаж был устроен на отличку: зал, гостиная, кабинет, столовая, спальня, — все по-богатому, как в первых купеческих домах. Стены везде были оклеены бархатными дорогими обоями, потолки лепные, мебель крыта шелком и трипом. Один только недостаток чувствовался в

этой богатой обстановке: от нее веяло нежилым. Вся семья жалась в нижнем, этаже, в маленьких, низких комнатах, а парадный верх служил только для приемов. Летом еще девицы получали дозволение проходить на террасу.

— Одна мебель чего мне стоила, — хвастался старик, хлопая рукой по дивану. — Вот за эту орехову плачено триста рубликов... Кругленькую копеечку стоило обзаведенье, а нельзя супротив других ниже себя оказать. У нас в Заполье по-богатому все дома налажены, так оно и совестно свиньей быть.

Гость внимательно все осмотрел, поддакивая хозяину, а потом проговорил:

— Наладил ты себе, Харитон Артемьич, не дом, а пряменько сказать — трактир.

Это замечание поставило хозяина в тупик: обидеться или поворотить на шутку? Вспомнив про дочерей, он только замычал. Ответил бы Харитон Артемьич, — ох, как тепленько бы ответил! — да лиха беда, по рукам и ногам связан. Провел он дорогого гостя в столовую, где уже был накрыт стол, уставленный винами и закусками.

— Ну-ка, Михей Зотыч, огорчимся для первоначалу.

Гость пожевал сухими губами, прищурился и быстро ответил:

— Не принимаю я огорчения-то, Харитон Артемьич. И скусу не знаю в вине, какое оно такое есть. Не приводилось отведывать смолоду, а теперь уж года ушли учиться.

«Вот гостя господь послал: знакомому черту подарить, так назад отдаст, — подумал хозяин, ошеломленный таким неожиданным ответом. — Вот тебе и сват. Ни с которого краю к нему не подойдешь. То ли бы дело выпили, разговорились, — оно все само бы и наладилось, а теперь разводи бобы всухую. Ну, и сват, как кривое полено: не уложишь ни в какую поленницу».

Пришлось «огорчиться» одному. Налил себе Харитон Артемьич самую большую рюмку, «протодьяконскую», хлопнул и, не закусывая, повторил.

— У нас между первой и второй не дышат, — объяснил он. — Это по-сибирски выходит. У нас все в Заполье не дураки выпить. Лишнее в другой раз переложим, а в компа-

нии нельзя. Вот я и стар, а компании не порчу... Все бросить собираюсь.

Дальше хозяин уже не знал, что ему и говорить. Но на выручку появилась Анфуса Гавриловна в своем новом тяжелом шелковом платье, стоявшем коробом, и в купеческой косынке-головке. Она степенно поклонилась гостю. За ней показались девицы. Они жеманно переглянулись, оглядев гостя с ног до головы. Все невесты на подбор: любую бери. Старшая имела скучающий вид, потому что ей уже надоела эта церемония «смотрин», да она плохо и рассчитывала на «судьбу», когда на глазах вертится Харитина. Анфуса Гавриловна с первого раза заметила, что отец успел «хлопнуть» прежде времени, а гость и не притронулся ни к чему.

— Ну-ка, как он теперь откажется, ежели хозяйка угощать будет? — заметил хозяин, глупо хихикнув. — Фуса, ну и гость: ни единой капли...

— Что же, не всем пить, — заметила политично хозяйка, подбирая губы оборочкой. — Честь честью, а неволить не можем.

— Это ты правильно, хозяюшка, — весело

ответил гость. — Необычен я, да и стар. В черном теле прожил всю жизнь, не до питья было.

Хозяин, воспользовавшись случаем, что при госте жена постеснится его оговорить, налил себе третью «протодьяконскую». Анфуса Гавриловна даже отвернулась, предчувствуя скандал. Старшая дочь Серафима нахмурила брови и вопросительно посмотрела на мать. В это время Аграфена внесла миску со щами.

— Садитесь, Михей Зотыч, — приглашала хозяйка. — Не обессудьте на угощении.

— Вот што, милая, — обратился гость к стряпке, — принеси-ка ты мне ломтик ржаного хлебца черствого да соли крупной, штобы с хрустом... У вас, Анфуса Гавриловна, соль на дворянскую руку: мелкая, а я привык по-крестьянски солить.

— Вот это я люблю! — поддержал его хозяин. — Я сам, брат, не люблю все эти треньбрень, а все бабы моду придумывают. Нет лучше закуски, как ржаная корочка с сольцой да еще с огурчиком.

Серафима была посажена напротив гостя, чтобы вся была на виду. На ней лежала сей-

час нелегкая обязанность показать себя в лучшем виде, какой только полагается для девиц. Впрочем, она была опытной в подобных делах и нисколько не стеснялась, тем более что и будущий свекор ничего страшного не представлял своею особой. Мать взглянула на нее всего один раз, и Серафима отлично поняла этот взгляд: «Притворяется старичонко, держи ухо востро, Сима». Когда хозяйка налила гостю тарелку щей, он сделал смешное лицо и сказал еще смешнее:

— Матушка, а ведь я обожгусь серебряною-то ложкой. Мне бы деревянную.

Бойкая Харитина сразу сорвалась с места и опрометью бросилась в кухню за ложкой, — эта догадливость не по разуму дорого обошлась ей потом, когда обед кончился. Должна была подать ложку Серафима.

— Стрела, а не девка! — еще больше некстати похвалил ее захмелевший домовладыка. — Вот посмотри, Михей Зотыч, она и мне ложку деревянную приволокет: знает мой карахтер. Еще не успеешь подумать, а она уж сделала.

Харитина действительно вернулась с дву-

мя ложками, сияющая своею раннею молодостью, веселая, улыбающаяся. Взглянув на мать, она поняла, какую глупость сделала, и раскраснелась еще сильнее — и стала еще красивее. Серафима ела выскочку глазами, и только одна Агния оставалась безучастной ко всему и внимательно рассматривала лысую голову мудреного гостя. Анфуса Гавриловна завела политичный разговор о погоде, о соборном протопопе, об ярмарке и т. д. Она несколько раз давала случай Серафиме вставить словечко, — не прежнее время, когда девки сидели, набравши воды в рот, как немые. Одним словом, Анфуса Гавриловна оказалась настоящим полководцем, хотя гость уже давно про себя прикинул в уме всех трех сестер: младшая хоть и взяла и красотой и удалью, а еще невитое сено, икона и лопата из нее будет; средняя в самый раз, да только ленива, а растолстеет — рожать будет трудно; старшая, пожалуй, подходящее всех будет, хоть и жидковата из себя и модничает лишнее. Ну, в годы войдет и раздобреет, а главное, у ней в глазу огонек есть, — упрямо таково взглянет. По матери девицы издались, нечего

напрасно хаять.

Хозяйку огорчало главным образом то, что гость почти ничего не ел, а только пробовал. Все свои ржаные корочки сосет да похваливает. Зато хозяин не терял времени и за жарким переехал на херес, — значит, все было кончено, и Анфуса Гавриловна перестала обращать на него внимание. Все равно не послушает после третьей рюмки и устроит штуку. Он и устроил, как только она успела подумать.

— Михей Зотыч, вот мои невесты: любую выбирай, — брякнул хозяин без обиняков. — Нет, врешь, Харитину не отдам! Самому дороже стоит!

— Харитон Артемьич, перестань ты непутевые речи говорить, только девиц конфузишь, — попробовала оговорить мужа Анфуса Гавриловна.

— Я?!.. Ты меня учить?..

Гость остановил хозяйский кулак, готовившийся ударить по столу.

— Полюбился ты мне с первого раза, Харитон Артемьич, — проговорил он ласково. — Душа нараспашку... Лишнее скажешь: слышим — не слышим. Вы не беспокойтесь, Ан-

фуса Гавриловна. Дело житейское.

Вспыхнувшая пьяная энергия сразу сменилась слезливым настроением, и Харитон Артемьич принялся жаловаться на сына Лиодора, который от рук отбился и на него, отца, бросился как-то с ножом. Потом он повторил начатый еще давеча разговор о зятьях.

— Первого зятя ты у меня видел, — говорил Харитон Артемьич, откладывая один палец. — Он у меня из счету вон, потому как нам низко с писарями родство разводить. Вторая дочь Татьяна вышла за Пашку Булыгина: с моим-то Лиодоркой два сапога пара. Тоже такой зятек, не обрадуешься... Как-то обещался своими руками меня задавить, ежели попадусь. Ну, дурак, а у дурака дурацкий и разговор... А третий зять у меня немец Штофф, — это как, по-твоему? Мы его полуштофом зовем, потому как ростом маленько не дошел... Евлампию дочь у меня этот самый полуштоф сманул, и мне никакого уважения. Хоть бы богатый был, а то шантрапа немец. Одно у него: крещеный по нашему православному закону. Вот какие все патреты вышли!.. Трех дочерей отдал замуж, а доведись — и по-

обедать ни у одного зятя не пообедаешь: у писаря мне низко обедать, Пашка Булыгин еще побьет, а немец мой сам глядит, где бы пообедать. А теперь вот этих трех надо замуж выдать. Тоже еще неизвестно, каких зятьев господь пошлет... Только вперед тебе скажу: Харитину не отдам. Ни-ни...

— Харитон Артемьич, будет тебе, — со слезами в голосе молила Анфуса Гавриловна. — Голову ты с дочерей снял.

— Не отдам Харитину! — кричал старик. — Нет, брат, шалишь!.. Самому дороже стоит!

— Дело божье, Харитон Артемьич, — политично ответил гость, собирая свои корочки в сторону. — А девицам не пристало слушать наши с тобой речи. Пожалуй, и лишнее скажем.

Девушки посмотрели на мать и все разом поднялись. Харитон Артемьич понял свою оплошку и только засопел носом, как давешний иноходец. К довершению скандала, он через пять минут заснул.

— Уж вы не обессудьте на нашем невежестве, — умоляюще проговорила Анфуса Гавриловна, поднимаясь.

— Что же, дело житейское, — наставительно ответил гость и вздохнул. — А кто осудит, тот и грех на себя примет, Анфуса Гавриловна.

— Ах, замаялась я, Михей Зотыч!..

— Главная причина: добрый человек, а от доброго человека и потерпеть можно. Слабенек Харитон Артемьич к винцу... Ах, житейское дело! Веселенько у вас поживают в Заполье, слыхивал я. А не осужу, никого не осужу... И ты напрасно огорчаешься, мать.

Это простое приветливое слово сразу ободрило Анфусу Гавриловну, и она посмотрела на гостя, как на своего домашнего человека, который сору из избы не вынесет. И так у него все просто, по-хорошему. Старик полюбился ей сразу.

На прощание Михей Зотыч потрепал хозяюшку по плечу и проговорил:

— Хороши твои девушки, хороши красные... Которую и брать, не знаю, а начинают с краю. Серафима Харитоновна, видно, богоданной дочкой будет... Галактиона-то моего видела? Любимый сын мне будет, хоша мы не ладим с ним... Ну, вот и быть за ним Серафиме.

По рукам, сватья...

Анфуса Гавриловна расплакалась. Очень уж дело выходило большое, и как-то сразу все обернулось. Да и жаль Серафиму, точно она ее избывала.

Глава 5

Про Заполье далеко шла слава, как про город бойкий, богатый и оборотистый. Он залег в низовьях реки Ключевой, главной артерии благословенного Зауралья, — в самом горле, как говорили старожилы. Река была главною кормилицей. Другим важным обстоятельством было то, что Заполье занимало границу, отделявшую собственно Зауралье от начинавшейся за ним степи, или, как говорили мужики, «орды». В сущности настоящая степь была далеко, но это название сохранялось за тою смешанною полосою, где русская селитьба мешалась с башкирской и казачьими землями. Весь бассейн Ключевой представлял собой настоящее золотое дно, потому что здесь осело крепкое хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. С другой стороны, степь да-

вала богатое степное сырье — сало, кожи, конский волос, гурты курдючных баранов и степных быков, косяки степных лошадей и целый ряд бухарских товаров. Бывший пограничный городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю и все операции со степным сырьем. Условия были самые благоприятные. Скупленный в Зауралье хлеб доставлялся запольскими купцами на все уральские горные заводы и уходил далеко на север, на холодную Печору, а в засушливые годы сбывался в степь. Заполье пользовалось и степною засухой и дождливыми годами: когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в степи, и этот дешевый ордынский хлеб запольские купцы сбывали в Зауралье и на север, в сухое лето хлеб родился хорошо в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где влага задерживалась лесами, и запольские купцы везли его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло на пользу начетистому запольскому купцу — и засуха и дождливые годы. Он получал свою выгоду и от дешевого и от дорогого хлеба, а больше всего от тех темных операций в безграмотной простоватой

орде, благодаря которым составилось не одно крупное состояние.

Ко всему этому нужно прибавить еще одно благоприятное условие, именно, что ни Зауралье, населенное наполовину башкирами, наполовину государственными крестьянами, ни степь, ни казачьи земли совсем не знали крепостного права, и экономическая жизнь громадного края шла и развивалась вполне естественным путем, минуя всякую опеку и вмешательство. Поэтому и объявленная воля не произвела здесь никаких коренных изменений в общем укладе, а только получилась некоторая разница в названиях. Наш рассказ относится именно к этому периоду, к первой половине шестидесятых годов, когда Заполье находилось в зените своей славы, как главный хлебный рынок и посредник между степью и собственно Россией.

По внешнему виду Заполье ничего особенного из себя не представляло: маленький уездный городок с пятнадцатью тысячами жителей, и больше ничего. Купечество составляло здесь все, и в целом уезде не было ни одного дворянского имения. В Заполье из

дворян проживало человек десять, не больше, да и те все были наперечет, начиная с знаменитого исправника Полуянова и кончая приблудным русским немцем Штоффом, явившимся неизвестно откуда и еще более неизвестно зачем. Остальные дворяне были тоже сомнительного свойства, больше из сибирских выходцев — семинаристы, дослужившиеся до Владимира, отставные казачьи офицеры и потомки каких-то мифических сибирских князцев. Сообразно этому купеческому складу устроился и весь город. Купец сказывался во всем. Самым живым местом являлся старый гостиный двор, а затем Хлебная улица, усаженная крепкими купеческими хороминами, — два порядка этой улицы со своими каменными белыми домами походили на две гигантских челюсти, жевавших каменными зубами благосостояние Зауралья и прилегавшей к нему «орды». Все эти купеческие дома строились по одному плану: верх составлял парадную половину, пустовавшую от одних именин до других, а нижний этаж делился на две половины, из которых в одной помещался мучной лабаз, а в другой ютилась вся

купеческая семья. Все богатое, именитое в Заполье сбилось именно на Хлебной улице и частью на Хлебном рынке, которым она заканчивалась, точно переходила в громадный желудок. Совершенно отдельно стояли дома купцов-степняков, то есть торговавших степным сырьем, как Малыгин. Они большею частью проживали по своим салотопенным заимкам, приютившимся на реке Ключевой выше и ниже города. Река Ключевая должна была бы составлять главную красоту города, но этого не вышло, — городскую стройку отделяло от реки топкое болото в целую версту. Церквей было не особенно много — зеленый собор в честь сибирского святого Прокопия, память которого празднуется всею Сибирью 8 июля, затем еще три церкви, и только. Этим Заполье резко отличалось от коренных российских городов. Сибирь вообще не богомольна, а затем половина запольского купечества держалась старой веры или считалась единоверцами. Остальные улицы были заняты мещанскою стройкой и домами разночинцев. Все это были деревянные домики, в один этаж, с целым рядом служб. И мещанину и

разночинцу жилось в Заполье хорошо, благо работы всем было по горло.

— Правильный город, — вслух думал старик Колобов, выходя на Хлебную улицу. — Нечего сказать, хороший город.

День уже склонялся к вечеру, и где-то звонили к вечерне. Летом Хлебная улица пустовала, и у лавок без дела слонялись только приказчики да подрушные. От безделья они с утра до вечера жарили в шашки или с хлыстами в руках гонялись за голубями, смело забиравшимися прямо в лавки, где в открытых сусеках ссыпаны были разные крупы, овес и горох. Народ был все рослый, краснорожий, как и следует быть запольским приказчикам. Старик Колобов остановился у одной лавки, где шла ожесточенная игра, сопровождавшаяся веселым ржаньем, прибаутками и тычками, посмотрел на молодцов и только покачал головой.

— Тебе что понадобилось, дедко?

— А вчерашний день потерял, миленькие...

— Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Старик шел не торопясь. Он читал вывески, пока не нашел то, что ему нужно. На большом каменном доме он нашел громадную синюю вывеску, гласившую большими золотыми буквами: «Хлебная торговля Т.С.Луковникова». Это и было ему нужно. В лавке дремал благообразный старый приказчик. Подняв голову, когда вошел странник, он машинально взял из деревянной чашки на прилавке копеечку и, подавая, сказал:

— Прими, старичок.

— Спасибо, миленький... — отказался странник. — Мне бы Тараса Семеныча повидать.

— Тараса Семеныча? Ступай-ка своей дорогой... Ежели каждый полезет к Тарасу Семенычу, так ему и пообедать некогда будет.

— Может, он почивает?

— Нет, какой теперь сон, когда еще восьмой час на дворе?

— Ну, так я его подожду здесь. Доложи, што некоторый человек очень желает его видеть по некоторому делу.

— Да я тебе мальчик дался?

— Ты-то не мальчик, а послать можешь...

Очень бы хотел его повидать.

Прочухавшийся приказчик еще раз смерил странного человека с ног до головы, что-то сообразил и крикнул подрушного. Откуда-то из-за мешков с мукой выскочил молодец, выслушал приказ и полетел с докладом к хозяину. Через минуту он вернулся и объявил, что сам придет сейчас. Действительно, послышались тяжелые шаги, и в лавку заднею дверью вошел высокий седой старик в котиковом картузе. Он посмотрел на странного человека через старинные серебряные очки и проговорил не торопясь:

— Это ты меня спрашивал?

— Видно, я... Аль не узнаешь, Тарас Семеныч?

Старик приподнял голову, еще раз внимательно рассмотрел мудреного человека и с прежним спокойствием проговорил:

— Пойдем в горницы, Михей Зотыч.

Михей Зотыч был один, и торговому дому Луковникова приходилось иметь с ним немалые дела, поэтому приказчик сразу вытянулся в струнку, точно по нему выстрелили. Молодец тоже был удивлен и во все глаза смот-

рел то на хозяина, то на приказчика. А хозяин шел, как ни в чем не бывало, обходя бунты мешков, а потом маленькою дверцей провел гостя к себе в низенькие горницы, устроенные по-старинному.

— Ну, здравствуй, дорогой гостенек, — поздоровался он, наконец. — Али на богомолье куда наклался?

— Нет, по-дорожному, Тарас Семеныч... Почитай всю Ключевую пешком прошел. Да вот и завернул тебя проведать...

— Так, так... Заходил ко мне Галактион-то, поклончик от тебя сказывал. Да... Невесту высматривать приехали у Малыгиных.

— Есть и такой грех, Тарас Семеныч. Житейское дело... Надо обженить Галактиона-то, пока не избаловался.

— Так, так.

Хозяин что-то хотел сказать, но только посмотрел на гостя своими темными близорукими глазами. Гость понял этот немой вопрос и ответил:

— Сам-то Харитон Артемьич не совсем, а кровь хорошая... Хорошая кровь, нечего хаять.

— Которую выбрал?

— А с краешку, значит, Серафиму. Малость жидковата, а такие-то живущее... Закинул я даве словечко с самой-то. Правильная женщина, обстоятельная...

— Еще бы, из старинного рода Анфуса-то Гавриловна. В свойстве мы с ней, хотя и небольшая родня.

Горницы у Тараса Семеныча были устроены по-старинному, низенькие, с небольшими оконцами, запиравшимися на ночь ставнями, с самодельными ковриками из старого тряпья, с кисейными занавесками, горками с посудой и самым простеньким письменным столом, приткнутым в гостиной. Были еще две маленьких комнаты, в одной из которых стояла кровать хозяина и несгораемый шкаф, а в другой жила дочь Устинька с старухой нянькой. Даже на неприхотливый взгляд Михея Зотыча горницы были малы для такого человека, как Тарас Семеныч.

— Ты ведь нынче в больших тысячах, — заговорил гость после длинной паузы. — Надо бы наверх перебраться.

— Ладно и здесь, Михей Зотыч. Как-то об-

жился, а там пусто, наверху-то. Вот, когда гости наберутся, так наверх зову.

— Другие-то вон как у вас поживают в Заполье. Недалеко ходить, взять хоть того же Харитона Артемьича. Одним словом, светленько живут.

— Другие и пусть живут по-другому, а нам и так ладно. Кому надо, так и моих маленьких горниц не обегают. Нет, ничего, хорошие люди не брезгуют... Много у нас в Заполье этих других-то развелось. Модники... Смотреть-то на них тошно, Михей Зотыч. А все через баб... Испотачили бабешек, вот и мутят: подавай им все по-модному.

— Денежки у вас дикие, вот они петухами и поют.

— Есть и такой грех. Не пожалуемся на дела, нечего бога гневить. Взысканы через число... Только опять и то сказать, купца к купцу тоже не применишь. Старинного-то, кондового купечества немного осталось, а развелся теперь разный мусор. Взять вот хоть этих степняков, — все они с бору да с сосенки набрались. Один приказчиком был, хозяина обворовал и на воровские деньги в люди вы-

шел.

— Это ты насчет Малыгина?

— Не один он такой-то... Другие в орде темным делом капитал приобрели, как Харитошка Булыгин. Известное дело, как там капиталы наживают. Недаром говорится: орда слепая. Какими деньгами рассчитываются в орде? Ордынец возьмет бумажку, посмотрит и просит дать другую, чтобы «тавро поятнее».

— Фальшивой работы бумажки?

— И своей фальшивой и привозные. Как-то наезжал ко мне по зиме один такой-то хахаль, предлагал купить по триста рублей тысячу. «У вас, говорит, уйдут в степь за настоящие»... Ну, я его, конечно, прогнал. Ступай, говорю, к степнякам, а мы этим самым товаром не торгуем... Есть, конечно, и из мучников всякие. А только деньги дело наживное: как пришли так и ушли. Чего же это мы с тобой в сухую-то тары-бары разводим? Пьешь чай-то?

— Ох, пью, миленький... И грешно, а пью. Великий соблазн, а пью... По нашей-то вере это даже вот как нехорошо.

— Пустяки это все... Чай — злак божий и создан он на потребу человеку. А потом, не

сквернит человека входящее во уста, а исходящее из уст... Эй, Матрена!

В дверях показалась старуха няня, из-за которой выглядывала детская русая головка.

— Наставь-ка нам самоварчик, честная мать. Гость у меня... А ты, Устюша, иди сюда. Да не бойся, глупая.

Старик должен был сам подойти к девочке и вывел ее за руку. Устюше было всего восемь лет. Это была прехорошенькая девочка с русыми волосами, голубыми глазками и пухлым розовым ротиком. Простое ситцевое розовое платьице делало ее такою милою куколкой. У Тараса Семеныча сразу изменился весь вид, когда он заговорил с дочерью, — и лицо сделалось такое доброе, и голос ласковый.

— Да ты не бойся, Устюша, — уговаривал он дичившуюся маленькую хозяйку. — Михей Зотыч, вот и моя хозяйка. Прошу любить да жаловать... Вот ты не дождался нас, а то мы бы как раз твоему Галактиону в самую пору. Любишь чужого дедушку, Устюша?

— Не-е-т, — недоверчиво протянула девочка. — Он беззубый.

— Ну, это пустяки: мы ему зубы молодые вставим.

— А я тебе гостинца привезу в другой раз, — пробовал задобрить гость упрямившуюся маленькую хозяйку. — Любишь пряники?

— Подымай выше, — засмеялся счастливый отец. — Нам пряники нипочем, а подавай фрукты.

— Набалуешь дочь, Тарас Семеныч.

— Пока мала, и пусть побалуется, а когда в разум войдет, мы и строгость покажем. Одна ведь она у меня, как перст... Только и свету в окне.

Колобов совсем отвык от маленьких детей и не знал, как ему разговаривать с Устюшей. Впрочем, девочка недолго оставалась у отца и убежала в кухню к няне.

— Вот ращу дочь, а у самого кошки на душе скребут, — заметил Тарас Семеныч, провожая глазами убегавшую девочку. — Сам-то стар становлюсь, а с кем она жить-то будет?.. Вот нынче какой народ пошел: козырь на козыре. Конечно, капитал будет, а только деньгами зятя не купишь, и через золото большие слезы льются.

За самоваром старики разговорились. Михей Зотыч снял свою сермяжку и остался в одной синей рубахе.

— Ты это что добрых-то людей пугаешь? — еще раз удивился хозяин улыбаясь. — Бродяга не бродяга, а около этого.

— Да так нужно было, Тарас Семеныч... Ведь я не одну невесту для Галактиона смотреть пришел, а и себя не забыл. Тоже жениться хочу.

— Хорош жених!

— А то как же... И невесту уж высмотрел. Хорошая невеста, а женихов не было. Ну, вот я и пришел... На вашей Ключевой женюсь.

— Н-но-о?

— Верно тебе говорю... Заводы бросаю и всю семью вывожу на Ключевую. Всем работы хватит... И местечко приглядел, повыше Суслона, где малыгинский зять писарит. Ах, хорошо местечко!.. Ужо меленку поставлю.

— А свою бросаешь?

— Жаль, а приходится бросать. Тоже ведь на Ключевой стоит. Своя река-то... Ну, пока мы к заводам обязанные были, так оно некуда было деться, а теперь совсем другое. О сы-

нах надо позаботиться... Дела там мало, в горах. Много ли там хлеба сеют, а здесь у вас приволье. Вот я всю Ключевую наскрось и прошел... Не река, а угодница. Два города стоят, три завода, а сколько фабрик, заимок, мельниц — и не пересчитаешь... Иду и дивлюсь. Верст с триста прошел, а все в виду селенья. Другой такой реки и в Расее с огнем не сыщешь. Ах, хороша речка!

— Большую мельницу-то думаешь строить?

— А уж это как бог приведет... Вот еще как мои-то помощники. Емельян-то, значит, большак, из воли не выходит, а на Галактиона как будто и не надеюсь. Мудреный он у меня.

— Знаю, знаю, что любимый сын... Сам виноват, что набаловал.

— Нет, не то... Особенный он, умственный. Всякое дело рассудит... А то упрется на чем, так точно на пень наехал.

— Постой, Михей Зотыч, а ведь ты неправильно говоришь: наклался ты сына середняка женить, а как же большак-то неженатый останется? Не порядок это.

Гость немного замялся и только потом

объяснил:

— Особенное тут дело выходит, Тарас Семеныч. Да... Не спросился Емельян-то, видно, родителя. Грех тут большой вышел... Там еще, на заводе, познакомился он с одною девицей... Ну, а она не нашей веры, и жениться ему нельзя, потому как или ему в православные идти, или ей в девках сидеть. Так это самое дело и затянулось: ни взад ни вперед.

— И хорошая девушка?

— Ему, значит, хороша, а я не видал.

Луковников был православный, хотя и дружил по торговым делам со староверами. Этот случай его возмутил, и он откровенно высказал свое мнение, именно, что ничего Емельяну не остается, как только принять православие.

— Ведь вот вы все такие, — карал он гостя. — Послушать, так все у вас как по-писаному, как следует быть... Ведь вот сидим вместе, пьем чай, разговариваем, а не съели друг друга. И дела раньше делали... Чего же Емельяну поперек дороги вставать? Православной-то уж ходу никуда нет... Ежели уж такое дело случилось, так надо по человечеству рассу-

дить.

— И то я их жалею, про себя жалею. И Емельян-то уж в годах. Сам не маленький... Ну, вижу, помутился он, тоскует... Ну, я ему раз и говорю: «Емельян, когда я помру, делай, как хочешь. Я с тебя воли не снимаю». Так и сказал. А при себе не могу дозволить.

Хозяин только развел руками. Вот тут и толкуй с упрямым старичонкой. Не угодно ли дожидаться, когда он умрет, а Емельяну уж под сорок. Скоро седой волос прошибет.

— Однако я у тебя закалякался, — объявил гость, поднимаясь. — Мне и спать пора... Я ведь, как воробей, поднимаюсь вместе с зарей.

— Да где ты остановился-то, Михей Зотыч?

— А сам еще не знаю где, миленький. Где бог приведет... На постоялый двор куда-нибудь заверну.

— Оставайся у меня. Место найдем.

— Место-то найдется, да я не люблю себя стеснять... А там я сам большой, сам маленький, и никому до меня дела нет.

— Ну, с тобой каши не сваришь. Заходи как-нибудь.

Уходя от Тараса Семеныча, Колобов тяжело вздохнул. Говорили по душе, а главного-то он все-таки не сказал. Что болтать прежде времени? Он шел опять по Хлебной улице и думал о том, как здесь все переменится через несколько лет и что главною причиной перемены будет он, Михей Зотыч Колобов.

Глава 6

Старик Колобов зажился в Заполье. Он точно обыскивал весь город. Все-то ему нужно было видеть, со всеми поговорить, везде побывать. Сначала все дивились чудному старику, а потом привыкли. Город нравился Колобову, а еще больше нравилась река Ключевая. По утрам он почти каждый день уходил купаться, а потом садился на бережок и проводил целые часы в каком-то созерцательном настроении. Ах, хороша река, настоящая кормилица.

— А вы неладно с городом-то устроились, — говорил Колобов мучникам, жарившим в шашки у своих лавок. — Ох, неладно!

— А чем мы провинились, дедко?

— Да так... Грешным делом, огонек пыхнет, вы за водой, да в болоте и завязнете. Верно го-

ворю... Не беду накликаю, а к примеру.

Все соглашались с ним, но никто не хотел ничего делать. Слава богу, отцы и деды жили, чего же им иначить? Конечно, подъезд к реке надо бы вымостить, это уж верно, — ну, да как-нибудь...

Колобов поджидал сыновей, уезжавших по делам на заводы. Они должны были вернуться давно, да что-то замешкались. Старику пришлось проболтаться в Заполье целых две недели, пока они вернулись. Приехали двое старших, Емельян и Галактион. Они одевались уже по-новому, в пиджаки и сюртуки, как следует быть новым людям. Емельяну уже было под сорок, и на макушке у него просвечивала порядочная лысина. Это был молчаливый человек, занятый какими-то своими мыслями. Много-много, если взглянет на кого, а то и так сойдет. Окладистая русая борода и строгие серые глаза придавали ему вообще довольно суровый вид. Галактион был моложе на целых пятнадцать лет. Это был высокий статный молодец с типичным русским лицом, только что опушенным небольшою бородкой. Ласковые темные глаза постоянно

улыбались. У старика Колобова все надежды заключались в Галактионе, — очень уж умный паренек издался. За что ни возьмется, всякая работа горит в руках. Он и механик, и мельник, и бухгалтер, и все, что хочешь. Никакое дело от рук не отобьется.

— Высмотрел я место себе под мельницу, — объяснял старик сыновьям. — Всю Ключевую прошел — лучше не сыскать. Под Суслоном, где Прорыв.

— Что же, будем строиться, — согласился Галактион. — Мы проезжали мимо Суслона. Место подходящее... А только я бы лучше на устье Ключевой поставил мельницу.

— Далеконько отбилось устье-то, почитай в самой орде, — сказал старик, — а Суслон в самом горле... Кругом, как полная чаша.

Пораздумавшись, старик решил, что нужно съездить на устье Ключевой, до которого от Заполья не больше верст шестидесяти.

— Посмотрим, — бормотал он, поглядывая на Галактиона. — Только ведь в устье-то вода будет по весне долить. Сила не возьмет... Одна другую реки будут подпирать.

Емельян, по обыкновению, молчал, точно

его кто на ключ запер. Ему было все равно: Суслон так Суслон, а хорошо и на устье. Вот Галактион другое, — у того что-то было на уме, хотя старик и не выпытывал прежде времени.

Поездка на устье Ключевой являлась одной прогулкой, — так было все хорошо кругом. Сначала старик не соглашался ехать на лошадях и непременно хотел идти пешком, но Галактион его уломал. Дорога шла правым степным берегом, где зеленым ковром расстилались поемные луга, а за ним разлеглась уже степь, запаханная только наполовину. И селитьба здесь пошла редкая. Похаять места, конечно, нельзя, а все-таки не то, что под Суслоном. Быстрою сибирскою ездой шестьдесят верст сделали в пять часов: выехали пораньше утром, а к десяти часам были уже на месте.

— Вот это так место! — проговорил Галактион, когда дорожный коробок остановился на мысу.

Действительно, картина была замечательная. Глубокий Тобол шел по степи «в трубе», точно в нарочно прорытой канаве. Ключевая

впадала с левой стороны, огибая отлогий мыс, известный под названием Городища, потому что на нем еще сохранились следы старых земляных валов и глубоких рвов. Место слияния двух рек образовало громадное плесо, в котором вода сейчас стояла, как зеркало. Михей Зотыч долго ходил по берегу, присматривая открывавшуюся даль из-под руки. Он что-то бормотал себе под нос, крутил головой и, наконец, вырешил все дело:

— Какое же это место? Тут надо какую плотину — страшно вымолвить... Да и весной вода вон куда поднимается.

Он показал размывы берега, где черта водяного весеннего уровня была налицо.

— Тут надо каменную плотину налаживать, да и ту прорвет, — ворчал старик, тыкая своею черемуховою палкой в водороины.

— А я бы так не ушел отсюда, — думал вслух Галактион, любуясь местом.

— Ведь что только можно здесь сделать, родитель!

— Ну-ка, што? — поддразнил старик.

— Пароходную пристань вот тут, а повыше буян для склада всяких товаров... Вот что!

— А пароходы где?

— За пароходом дело не встанет... По другим-то местам везде пароходы, а мы все гужом волокем. Отсюда во все стороны дорога: под Семипалатинск, в степь, на Обь к рыбным промыслам... Работы хватит.

Галактион даже закрыл глаза, рисуя себе заманчивую картину будущего пароходства. Михей Зотыч понял, куда гнул любимый сын, и нахмурился. Не о пустяках надо было сейчас думать, а у него вон что на уме: пароходы... Тоже придумает.

— Ну, уж ты сам езди на своих пароходах, — ворчал он, размахивая палкой, — а мы на берегу посидим.

— Одно другому не мешает, родитель.

— А вот и мешает! За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь... Надо выкинуть дурь-то из головы. Я вот покажу тебе такой пароход...

Повернувшись к Галактиону, старик неожиданно проговорил:

— Я тебе невесту высватал, дураку, а у тебя пароходы на уме. Благодарить будешь.

Галактион ничего не ответил отцу, а толь-

ко опустил глаза. Он даже не спросил, кто невеста. Это последнее окончательно возмутило старика, и он накинулся на своего любимца с неожиданною яростью:

— Да ты што молчишь-то, пень березовый?.. Я для него убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко.

— Что же мне говорить? — замялся Галактион. — Из твоей воли я не выхожу. Не перечу... Ну, высватал, значит так тому делу и быть.

— А для кого я хлопотал-то, дерево ты стоеросовое?.. Ты что должен сделать, идол каменный? В ноги мне должен кланяться, потому как я тебе судьбу устраиваю. Ты вот считаешь себя умником, а для меня ты вроде дурака... Да. Ты бы хоть спросил, какая невеста-то?.. Ах, бесчувственный ты истукан!

— Знаю, какая-такая невеста, — уже спокойно ответил Галактион, поднимая глаза на отца. — Что же, девушка хорошая... Немножко в годках, ну, да это ничего.

— Ну, а еще-то што? Ну, договаривай.

— А еще то, родитель, что ту же бы девушку взять да самому, так оно, пожалуй, и луч-

ше бы было. Это я так, к слову... А вообще Серафима Харитоновна девица вполне правильная.

— Вот как ты со мной разговариваешь, Галактион! Над родным отцом выкомуриваешь!.. Хорошо, я тогда с тобой иначе буду говорить.

Эта сцена более всего отозвалась на молчавшем Емельяне. Большак понимал, что это он виноват, что отец самовольно хочет женить Галактиона на немилой, как делывалось в старину. Боится старик, чтобы Галактион не выкинул такую же штуку, как он, Емельян. Вот и торопится... Совестно стало большаку, что из-за него заедают чужой век. И что это накатилось на старика? А Галактион выдержал до конца и ничем не выдал своего настроения.

Упрямый старик сердился всю дорогу и все поглядывал на Галактиона, который не проронил ни слова. Подъезжая к Заполью, Михей Зотыч проговорил:

— Думал я, по осени сыграем свадьбу... По-хорошему, думал, все дельце пойдет. А теперь другое... Да. Через две недели теперь свадьба

будет.

— А по мне все равно, — проворчал Галактион. — Хоть завтра.

— Ты у меня поговори, Галактион!.. Вот сынка бог послал!.. Я о нем же забочусь, а у него пароходы на уме. Вот тебе и пароход!.. Сам виноват, сам довел меня. Ох, согрешил я с вами: один умнее отца захотел быть и другой туда же... Нет, шабаш! Будет веревки-то из меня вить... Я и тебя, Емельян, женю по пути. За один раз терпеть-то от вас. Для кого я хлопочу-то, галманы вы этакие? Вот на старости лет в новое дело впутываюсь, петлю себе на шею надеваю, а вы...

Михей Зотыч ужасно волновался и несколько раз ссылался на покойную жену, которая еще не так бы поступила с ослушниками отцовской воли.

— Она не посмотрела бы, что такие лбы выросли... Да!.. — выкрикивал старик, хотя сыновья и не думали спорить. — Ведь мы так же поженились, да прожили век не хуже других.

Братья нисколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово.

Не такой человек, чтобы болтать напрасно. Впрочем, Галактион ничем не обнаруживал своего волнения и относился к своей судьбе, как к делу самому обыкновенному.

Вообще вся колобовская семья была какая-то странная, что объясняется отчасти их генеалогией. Первым объявился на Урале дедушка Колобок; он был из сибирских беглых. Пробираясь из Сибири в Расею, он застрял на одном из горных уральских заводов, женился, да так и остался навсегда. Откуда он был родом и кто такой — никто не знал, даже единственный сын Михей Зотыч. Дед не любил говорить о своем прошлом. Известно было только одно, что он был «по старой вере». На заводах в то время очень нуждались в живой рабочей силе и охотно держали бродяг, скрывая их по рудникам и отдаленным куреням и приискам. Дед так и прожил «колобком» до самой смерти, а сын, Михей Зотыч, уже был приписан к заводским людям, наравне с другими детьми. Этому «заводскому сыну» пришлось пройти очень тяжелую школу, пока он выбился в люди, то есть достиг известной самостоятельности. Время было крепостное, су-

ровое, а на заводах царили порядки доброго каторжного времени. Михей Зотыч проходил «механический цех», потом попал к паровым котлам, потом на медный рудник к штанговой машине, откачивавшей из шахты воду, потом к лесным поставкам, — одним словом, прошел сложный и тяжелый путь. Его спасли так называемые отрядные работы, которые сдавались своим же заводским рабочим с торгов. Тут впервые сказалась вся сметка и находчивость недавнего простого рабочего. Он быстро выдвинулся вперед и начал копить деньгу. Так продолжалось лет десять. В это время Михей Зотыч успел жениться и обзавелся своим домком. Одно оставалось у него на душе — и при деньгах он оставался подневольным человеком, неся отцовское иго. Добиться воли, сбросив с себя отцовский плен, сделалось заветною мечтой настойчивого и предприимчивого человека. Но выкупиться богатому подрядчику из заводской неволи было немыслимо: заводы не нуждались в деньгах, как помещики, а отпускать от себя богатого человека невыгодно, то есть богатого по своей крепостной заводской арифметике.

Но тут спас Михея Зотыча счастливый случай. Нужно было соединить каналом одну горную речку с заводским прудом. Русские инженеры, делавшие промеры, решили, что это невозможно. Их сменил какой-то французский инженер и подтвердил то же самое. Тогда Михей Зотыч «прошел линию» с своим бурачком с водой и заявил, что проведет канал, если ему дадут вольную. Работы по приблизительным сметам равнялись тридцати тысячам рублей. Счет шел на ассигнации, но эти крепостные ассигнации стоили дороже вольных серебряных рублей. Заводоуправление согласилось, — вероятно, в виде курьеза, — и через три года работы канал был готов и самым блестящим образом оправдал все расчеты самоучки-инженера.

Получив вольную (действие происходило в сороковых годах), Михей Зотыч остался на заводах. Он арендовал у заводовладельца мельницу в верховьях Ключевой и зажил на ней совсем вольным человеком. Нужно было снова нажить капитал, чтобы выступить на другом поприще. И этот последний шаг Михей Зотыч делал сейчас.

Глава 7

Дело со свадьбой быстро пошло вперед. Двухнедельный срок, данный Михеем Зотычем, поднял малыгинский дом вверх дном. Анфуса Гавриловна просто сбилась с ног с своими бабьими хлопотами. Оказалось, как всегда бывает в таких случаях, что и того нет, и этого недостает, и третьего не хватает, а о четвертом и совсем позабыли. И в то же время нужно было сделать все по-настоящему, чтобы не осрамиться перед другими и не запереть ход оставшимся невестам. Чужие-то люди все заметят и зубы во рту у невесты пересчитают, и Анфуса Гавриловна готова была вылезти из кожи, чтобы не осрамить своей репутации. А тут еще наехали разные тетки, свояченицы и дальние родственницы, и каждая чем-нибудь расстраивала.

— Женишок, нечего хаять, хорош, а только капитал у них сумнительный, да и делить его придется промежду тремя братьями, — говорила тетка со стороны мужа. — На запольских-то невест всякий позарится, кому и не надо.

— Ну, капитал дело наживное, — спорила

другая тетка, — не с деньгами жить... А вот карахтером-то ежели в тятеньку родимого женишок издастся, так уж оно не того... Михей-то Зотыч, сказывают, двух жен в гроб заколотил. Аспид настоящий, а не человек. Да еще сказывают, что у Галактиона-то Михеича уж была своя невеста на примете, любовным делом, ну, вот старик-то и торопит, чтобы огласки какой не вышло.

Анфуса Гавриловна все это слышала из пятого в десятое, но только отмахивалась обеими руками: она хорошо знала цену этим расстройным свадебным речам. Не одно хорошее дело рассыпалось вот из-за таких бабьих шепотов. Лично ей жених очень нравился, хотя она многого и не понимала в его поведении. А главное, очень уж пришелся он по душе невесте. Чего же еще надо? Серафимочка точно помолодела лет на пять и была совершенно счастлива.

— Высидела жениха, — шептали бедные родственницы, не могшие простить этого счастия и подыскивавшие что-нибудь неприятное. — Ну, да ему, голенькому, как раз по зубам невеста-перестарок.

Теперь весь верх малыгинского дома был занят женщинами, хлопотавшими около невестина приданого. Особенно хорошо было по вечерам, когда наезжали со всего Заполья подруги невесты и все комнаты наполнялись беззаботным девичьим смехом, молодыми голосами и старинными свадебными песнями. Сколько тут было хорошеньких девичьих лиц, блестевших молодостью глаз и того беспричинного веселья, которое приходит и уходит вместе с молодостью. Выворочены были из кладовых старинные сундуки с заготовленным уже раньше приданым, по столам везде разложены всевозможные новые материи, — одним словом, работа шла вовсю. Делалось все это, между прочим, и с тою целью, чтобы все видели, как Малыгины выдают дочь замуж. Из всех девушек веселилась, главным образом, Харитина, на которую теперь мать почему-то особенно ворчала и не давала прохода.

— И что ты хвостом-то повертываешь, бессовестная? — ворчала Анфуса Гавриловна. — Ты у меня смотри, я до тебя доберусь!

— Мамынька, да что вы в самом-то деле

привязываетесь ко мне?

— Погоди, я тебе покажу, вертихвостка!

Особенно доставалось Харитине, когда приезжал жених. Анфуса Гавриловна не спускала глаз с нее. Дело доходило до подзатыльников и слез.

— А не лезь на глаза, не представляйся! — как-то по-змеиному шипела Анфуса Гавриловна. — Вон другие-то девушки прячутся от мужчин, а ты все на выставку, все на выставку!

— Мамынька, да, право же, ей-богу, я ничего... Я тоже буду прятаться.

Жених держал себя с большим достоинством и знал все порядки по свадебному делу. Он приезжал каждый день и проводил с невестой как раз столько времени, сколько нужно — ни больше, ни меньше. И остальных девушек не забывал: для каждой у него было свое словечко. Все невестины подруги полюбили Галактиона Михеича, а старухи шептали по углам:

— Ну, этот из молодых да ранний! Пожалуй, другим-то зятьям и пикнуть не даст.

Нравился девушкам и другой брат, Еме-

льян. Придет на девичник, сядет в уголок и молчит, как пришитый. Сначала все девушки как-то боялись его, а потом привыкли и насмелились до того, что сами начали приставать к нему и свои девичьи шутки шутить.

— Емельян Михеич, расскажите сказочку! Емельян Михеич, спойте песенку!

А Емельян Михеич сидит и только молча улыбается. Самые смелые девушки кончали тем, что стали примеривать на него невестины наряды, надевали на него чепцы и шляпы и хохотали до слез. Одно появление Емельяна уже вызывало общее веселье, и девушки нападали на него всею гурьбой, как осиное гнездо. А он все молчал и только улыбался. При нем не стеснялись и болтали все, что взбредет в голову, его же тащили во все девичьи игры и шалости, теребили за бороду, целовали и проделывали всякие дурачества, особенно когда старухи уходили после обеда отдохнуть. С другими мужчинами не смели и сотой доли того сделать, а жениха даже побаивались, хотя на вид он и казался ласковее. Все чувствовали, что жених только старается быть вежливым и что его совсем не интересу-

ют девичьи шутки и забавы.

И действительно, Галактион интересовался, главным образом, мужским обществом. И тут он умел себя поставить и просто и солидно: старикам — уважение, а с другими на равной ноге. Всего лучше Галактион держал себя с будущим тестем, который закрутил с самого первого дня и мог говорить только всего одно слово: «Выпьем!» Будущий зять оказывал старику внимание и делал такой вид, что совсем не замечает его беспросыпного пьянства.

— Богоданный тятенька, вы бы на террасе посидели... Оно на свежем воздухе приятнее.

Такое поведение, конечно, больше всего нравилось Анфусе Гавриловне, ужасно стеснявшейся сначала перед женихом за пьяного мужа, а теперь жених-то в одну руку с ней все делал и даже сам укладывал спать окончательно захмелевшего тестя. Другим ужасом для Анфусы Гавриловны был сын Лиодор, от которого она прямо откупалась: даст денег, и Лиодор пропадет на день, на два. Когда он показывался где-нибудь на дворе, девушки сбивались, как овечье стадо, в одну комнату и запирались на ключ.

Раз все-таки Лиодор неожиданно для всех прорвался в девичью и схватил в охапку первую попавшуюся девушку. Поднялся отчаянный визг, и все бросились врассыпную. Но на выручку явился точно из-под земли Емельян Михеич. Он молча взял за плечо Лиодора и так его повернул, что у того кости затрещали, — у великого молчальника была железная сила.

— Да ты, черт, не очень того! — бормотал потерявшийся Лиодор. — Мы и сами с усами. Мелкими можем расчет дать!

Емельян только показал глазами на окошко, а потом вытолкал Лиодора в дверь. Девушки не знали, как и благодарить великодушного силача, который опять молча улыбался.

Появилась в малыгинском доме и Евлампия Харитоновна, или, по-домашнему, «полуштофова жена». Прямой ссоры с зятем-немцем у Малыгиных не было, но и родственной близости не выходило. Видались больше по праздникам да на именинах. Евлампия была большая модница и щеголяла напропалую. И на свадьбу она явилась в таком платье, что все ахнули. Все удивлялись только одному,

откуда хитрый немец берет деньги, чтобы так наряжать жену: ни торговли, ни службы, ни определенных занятий, ни капитала, а живет на широкую ногу. Познакомившись с женихом, Евлампия сделала презрительное движение плечами и только заметила:

— Не большого бобра убили, мамынька!

— Какого еще тебе жениха нужно, Евлампия? — обиделась Анфуса Гавриловна. — Все завидуют... Пожалуй, почище твоего-то немца будет.

— Ну, моего немца вы оставьте, мамынька. Вы ему теперь цены еще не знаете.

— То-то он что-то уж очень скрывает свою цену, — ядовито заметила Анфуса Гавриловна. — Как будто и другие тоже ничего не замечают.

Вечерком заглянула и Татьяна Харитоновна, бывшая за Булыгиным. Она урвалась из дому тайком, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Серафимина жениха. Не красно жилось Татьяне, похудела она, как щепка, под глазами синие круги. Болело о ней сердце у Анфусы Гавриловны, постоянно болело, а помочь было нечем. Такая уж неудача родилась.

Она посмотрела на жениха из другой комнаты, похвалила и незаметно ушла домой, точно боялась своим присутствием нарушить веселье в отцовском доме. Анфуса Гавриловна даже всплакнула потихоньку, — очень уж жаль ей было Татьяны. Кажется, всех бы дочерей собрала под свое материнское крыло и никому не дала бы в обиду. Вот и Анны, писаревой жены, тоже нет на свадьбе, и мать не раз о ней вспомнила. Так, ни за грош девку загубили... Отец и слышать ничего не хотел о суслонском писаре.

— Ну что, каков жених? — спрашивала Анфуса Гавриловна, провожая Татьяну по черной лестнице.

— Женихи-то все хороши, мамынька, — уклончиво ответила Татьяна. — Ничего, хороший. Женихов-то, как гусей, по осени считают. Что-то очень уж ласковый. Я это так, к слову.

— Не буян бы да не пьяница, Татьянушка! А наша Серафима прямо ума решилась. Горит вся.

— Дай бог, мамынька.

— Ох, Татьянушка, болит у меня сердце за

всех вас! Вот как болит! Хотела выписать Анну из Суслона, да отец сразу поднялся на дыбы: слышать не хочет.

В Заполье еще сохранились старинные свадебные обряды, хотя они и перемешались с новыми модными обычаями. Колобовская свадьба благодаря спеху прошла кое-как в этом отношении, и старухи, собравшиеся на свадьбу, сильно пеняли на старика Колобова. Куда ускорился старичонко, подумаешь, а дело не таковское. Блох ловить торопятся, а жену берут честь-честью. Не было настоящего сватовства, не было рукобитья, а прямо начали с девичников, точно на пожар погнали. Опытные старушки ничего хорошего в этом спехе не видели и сулили молодым незадачу. Конечно, все это говорилось по углам, а не в глаза мужниной и жениной родне. Ломался старый вековой обычай, а это не к добру. Сам-то Михей Зотыч небось и глаз не казал на свадьбу, а отсиживался у себя на постоялом дворе да на берегу Ключевой. Все обсудили старушки, все вызнали и по-своему рассудили дело: неправильная свадьба и все равно проку не будет. Вон и жених уж сейчас туманный

ходит.

Веселилась и радовалась одна невеста, Серафима Харитоновна. Очень уж по сердцу пришелся ей молодой жених, и она видела только его одного. Скорее бы только все кончилось... С нею он был сдержанно-ласков, точно боялся проявить свою жениховскую любовь. Только раз Галактион Михеич сказал невесте:

— Вы доброю волею за меня идете, Серафима Харитоновна? Пожалуйста, не обижайтесь на меня: может быть, у вас был кто-нибудь другой на примете?

— Что вы, Галактион Михеич, — смущенно ответила невеста. — Никого у меня не было и никого мне не нужно. Я вся тут. Сами видите, кого берете. Как вы, а я всей душой...

Галактиону Михеичу вдруг сделалось совестно, потому что он не мог ответить невесте так же искренне и просто. Собственно невеста ему и нравилась, ему хотелось иногда ее приласкать, сказать ласковое словечко, но все как-то не выходило, да и свадебные гости мешали. Жениху с невестой не приходилось оставаться с глазу на глаз.

Однажды вечером на девичнике, когда девушки запели старинную песню:

Расступитеся, люди добрые, Дайте-ко мне путь-дороженьку, Что на все на четыре стороны!

Мне идти к родному батюшке!.. — у жениха вдруг упало сердце, точно он делал что-то нехорошее и кого-то обманывал, у него даже мелькнула мысль, что ведь можно еще отказаться, время не ушло, а впереди целая жизнь с нелюбимой женой. Но это было только проявление минутной слабости. Ничего не оставалось, как идти до конца. Взглянув на пригорюнившегося брата Емельяна, Галактион понял, что они оба охвачены одним сомнением, оба думали одну думу и оба приходили к одному заключению. Да, суженой-ряженой, видно, на коне не объедешь.

Глава 8

На свадьбе Галактион перезнакомился со всем Запольем, потому что теперь в малыгинский дом валили званый и незваный. Это тоже старинный обычай, и чем больше гостей, тем больше почету невестину дому. Даже старые недруги могли приходить, и старое

зло на время забывалось. Из приходивших в малыгинский дом большинство были купцы средней руки. Знать составляли такие именитые люди, как старик Луковников и запольский богач Евграф Огибенин. Огибенинский купеческий род пользовался громадною популярностью во всем округе, центр которого составляло Заполье. Еще деды вели здесь торговлю и завязывали первые узлы. Нынешний Евграф Огибенин являлся последним словом купеческого прогресса, потому что держал себя совсем на господскую ногу: одевался по последней моде, волосы стриг под гребенку, бороду брил, усы завивал и в довершение всего остался старым холостяком, чего не случалось в купечестве, как стояло Заполье.

— Пошел род на перевод, — говорил старик Луковников, особенно недолюбливавший Евграфа.

Другие называли Огибенина просто «Еграшкой модником». Анфуса Гавриловна была взята из огибенинского дома, хотя и состояла в нем на положении племянницы. Поэтому на малыгинскую свадьбу Огибенин явился с большим апломбом, как один из бли-

жайших родственников. Он относился ко всем свысока, как к дикарям, и чувствовал себя на одной ноге только с Евлампией Харитоновной.

Из всей этой малыгинской родни и сборных гостей Галактиону ближе всех пришелся по душе будущий родственник, немец Штофф. Это был небольшого роста господин, немного припадавший на левую ногу. Лицо у немца было совсем русское и даже обросло по-русски какою-то мочальною бороденкой. Знакомство состоялось как-то сразу, и будущие зятья полюбились друг другу.

— Я здесь совсем чужой, — откровенно объяснял Штофф. — Да и вы тоже не совсем свой... Впрочем, ничего, привыкнете со временем. Первое время мне приходилось довольно-таки тяжеленько, а теперь ничего, обтерпелся.

В разговоре немец постоянно улыбался и немного подмигивал правым глазом, точно этот глаз у него тоже прихрамывал, как левая нога.

— И знаете, на чем я сошелся с ними? — объяснял он. — На водке... У меня счастливый

желудок, а это здесь считается величайшим достоинством. Мне это много помогло.

Немец жил в Заполье лет пять и знал всех наперечет, а также знал и все торговые дела.

— Зачем вы здесь живете, Карл Карлыч? — спрашивал Галактион в том же откровенном тоне, в каком начал немец.

— Зачем? — удивился Штофф. — О, батенька, здесь можно сделать большие дела!.. Да, очень большие! Важно поймать момент... Все дело в этом. Край благодатный, и кто пользуется его богатствами? Смешно сказать... Вы посмотрите на них: никто дальше насиженного мелкого плутовства не пошел, или скромно орудует на родительские капиталы, тоже нажитые плутовством. О, здесь можно развернуться!.. Только нужно людей, надежных людей. Моя вся беда в том, что я русский немец... да!

Этим Штофф открывал свои карты, и Галактион понял, почему немец так льнет к нему. Лично он ему очень нравится, как человек обстоятельный и энергичный. Что же, в свое время хитрый русский немец мог пригодиться.

Свадебное дело близко шло к развязке. Гостей набиралось все больше и больше. Появились какие-то совсем неизвестные люди, которых знал по своим степным делам один Харитон Артемьич, но сейчас открещивался от них обеими руками. Это были купцы из глухих пограничных степных городков. Народ все рослый и совсем дикий. Из них запольские купцы признали только одного, известного степного богатыря Сашку Горохова, крестившегося четырехпудовою гирей. Этот Сашка Горохов быстро сделался настоящим героем дня, потому что никто не мог его перепить, даже немец Штофф. И вид у него был какой-то несообразный, как у старинного бронзового памятника какому-нибудь герою, — бычья шея, маленькая голова, невероятной величины руки и ноги. Эту фундаментальную структуру степного богатыря портила только сильная сутуловатость. К довершению курьеза Сашка говорил какою-то жалобною тоненькою фистулой и шепелявил, как младенец. Харитон Артемьич впился в него, как клещ, и не отходил. Сам уж он допился до того, что не мог отличить водки от воды, чем

и пользовались, а зато любовался подвигами Сашки, получившего сразу кличку «луженого брюха».

— Саша, выпей!

Саша молча наливал чайный стакан водки и молча его выпивал, точно выливал в какое-то подполье.

— А еще можешь, Саша?

— Могу-с, — слащаво пищал Саша и выпивал второй стакан.

Около этого богатыря собиралась целая толпа поклонников, следивших за каждым его движением, как следят все поклонники за своими любимцами. Разве это не артист, который мог выпивать каждый день по четверти ведра водки? И хоть бы пошатнулся. Таким образом, Сашка являлся главным развлечением мужской компании.

Появились и другие неизвестные люди. Их привел неизвестно откуда Штофф. Во-первых, вихлястый худой немец с бритою верхней губой, — он говорил только вопросами: «Что вы думаете? как вы сказали?» Штофф отрекомендовал его своим самым старым другом, который попал в Заполье случайно, проездом в

Сибирь. Фамилия нового немца была Драке, Федор Федорыч.

— О, это большой человек! — по секрету сообщал Штофф жениху. — Настоящий большой человек!

А большой немец как-то особенно глупо хлопал глазами, вытягивал тонкую гусиную шею, сосал какие-то лепешки и спрашивал с удивлением:

— Зачем они женятся? Что? Разве это необходимо для каждого русского купца? А впрочем, может быть, я плохо понимаю по-русску?

Не получая ответа на такие вопросы, немец принимал сонный вид и начинал сосать свои лепешки.

Этот потешный немец сделался жертвой знаменитого запольского исправника Полуянова, только что вернувшегося из уезда. Имя Полуянова гремело далеко и наводило панику своим зверством, особенно с купцами. Это был плечистый, среднего роста мужчина, с каким-то дубленым загаром энергичного лица, — он выбился в исправники из знаменитых сибирских фельдъегерей. Ходил Полуянов всегда в военной тужурке, заложив руки

в карманы. В компании он был милейшим человеком — забавник, балагур, питух, песенник, бабий угодник, — на все руки. Но стоило ему только оставить веселую компанию, как сейчас же он превращался в зверя. Тяжелая была рука у Ильи Фирсыча Полуянова, и недаром его называли дантистом. Сейчас Полуянов старался наверстать пропущенное время и успевал напиваться по три раза в день. В светлые промежутки он занимался травлей нового немца, потешая почтенную публику разными выходками. Лучшим номером в этом репертуаре был тот, когда Полуянов незаметно усаживал рядом с Драке только что приехавшего богатого степного татарина Шахму.

— Шалтай-балтай, поговори с немцем, — упрашивал Полуянов. — В ножки поклонюся твоей татарской образине.

— Мало-мало калякаем немца... — бормотал Шахма, грузно подсаживаясь к Драке. — Эй, знаком, карта гуляешь?

— Зачем карта?

— Э-э... Шахма любит карта... Один карта на левой нога, другой карта на правой нога.

Купца много смеял, а Шахма много платил... Исправник любит деньга Шахма... Шахма любит исправник.

Этот Шахма был известная степная продувная бестия; он любил водить компанию с купцами и разным начальством. О его богатстве ходили невероятные слухи, потому что в один вечер Шахма иногда проигрывал по нескольку тысяч, которые платил с чисто восточным спокойствием. По наружности это был типичный жирный татарин, совсем без шеи, с заплывшими узкими глазами. В своей степи он делал большие дела, и купцы-степняки не могли обойти его власти. Он приехал на свадьбу за триста верст.

— Да разве я тебя звал? — удивлялся Харитон Артемьич, продирая глаза.

— Виделись-то еще в прошлом году.

— Ну, тогда и звал, — невозмутимо отвечал Шахма. — Сама говорил: девка буду пропивать, приезжай, Шахма. Вот я и гулял на твой свадьба.

— А водку не выучился пить?

— Закон Шахме не велит... Карта гулял, деньга платил, а водка тебе оставлял.

Полуянов значительно оживил свадебное торжество. Он отлично пел, еще лучше плясал и вообще был везде душой компании. Скучавшие девушки сразу ожили, и веселье полилось широкою рекой, так что стоном стон стоял. На улице собиралась целая толпа любопытных, желавшая хоть издали послушать, как тешится Илья Фирсыч. С женихом он сейчас же перешел на «ты» и несколько раз принимался целовать его без всякой видимой причины.

— Мы ведь тут, каналья ты этакая, живем одною семьей, а я у них, как посаженый отец на свадьбе... Ты, ангел мой, еще не знаешь исправника Полупьянова. За глаза меня так навеличивают. Хорош мальчик, да хвалить некому... А впрочем, не попадайся, ежели что — освежую... А русскую хорошо пляшешь? Не умеешь? Ах ты, пентюх!.. А вот постой, мы Харитину в круг выведем. Вот так девка: развей горе веревочкой!

Устраивался круг, и Полуянов пускался в пляс. Харитина действительно плясала русскую мастерски, и мать только удивлялась, где она могла научиться разным вывертам.

Такая пляска заканчивалась каким-нибудь неистовым коленом разудалого исправника: он начинал ходить колесом, кувыркался через голову и т. д.

Последними уже к большому столу явились два новых гостя. Один был известный поляк из ссыльных, Май-Стабровский, а другой — розовый, улыбавшийся красавец, еврей Ечкин. Оба они были из дальних сибиряков и оба попали на свадьбу проездом, как знакомые Полуянова. Стабровский, средних лет господин, держал себя с большим достоинством. Ечкин поразил всех своими бриллиантами, которые у него горели везде, где только можно было их посадить.

— Вот так штука: жид на свадьбе проявился! — дивились добродушные запольские купцы и видели в этом новую дурную примету.

Но Полуянов всех успокоил. Он знал обоих еще по своей службе в Томске, где пировал на свадьбе Май-Стабровского. Эта свадьба едва не закончилась катастрофой. Когда молодых после венца усадили в коляску, лошади чего-то испугались и понесли. Плохо пришлось бы молодым, если бы не выручил Полуянов:

он бросился к взбесившимся лошадям и остановил их на всем скаку, причем у него пострадал только казенный мундир.

— Мои сибирские дружки, — хвалился Полуянов, представляя незваных гостей. — Захотят — купят и продадут все наше Заполье и еще сдачи дадут.

Штофф отвел таинственно жениха в сторону, огляделся и сообщил:

— Вы ничего не слыхали про Ечкина, Бориса Яковлича Ечкина?

— Нет, не слыхал.

Штофф приподнял плечи, повертел у своего лба пальцем и торжественно проговорил:

— Это, голубчик, гениальнейший человек, и другого такого нет, не было и не будет. Да... Положим, он сейчас ничего не имеет и бриллианты поддельные, но я отдал бы ему все, что имею. Стабровский тоже хорош, только это уж другое: тех же щей, да пожиже клей. Они там, в Сибири, большие дела обделывали.

Галактион с особенным вниманием посмотрел на Ечкина и еще раз удивился: решительно ничего особенного в нем не было. Про-

сто какой-то приказчик из магазина с золотыми вещами. И улыбается глупо и глазами шмыгает. А впрочем, кто их знает, — Штофф зря не будет говорить. Курьезнее всего вышло то, как напыжился Евграф Огибенин на новых гостей, затмивших его и костюмами и галантерейностью обращения. Особенно проклятый жид его возмущал, — со всеми перезнакомился, всем успел сказать что-нибудь приятное и сейчас же уселся с Шахмой за карточный стол. Нечего сказать, увертливый жид, а держит себя в размашку, как будто уж совсем не по-жидовски. Дамы находили тоже, что сибирский жид скорее походит на ярославского лихого коробейника.

Венчание молодых происходило, по старому обряду, в старинной раскольничьей моленной. Провожавшие молодых все оделись по старинке: мужчины в длиннополые кафтаны, а женщины в сарафаны. Невеста в этом наряде была совсем хороша, и жених ею невольно полюбовался. Замечательный этот женский русский костюм, он ко всякой идет — к красивой и некрасивой, к молодой и старой. Но Галактион просто ахнул, когда сре-

ди провожавших невесту он увидел Харитину: это была такая красавица, что у него на душе захолонуло. В детстве он испытывал подобное же чувство, когда на качелях подкидывало вверх. Да, она стояла перед ним, сама красота, и жгла-палила своими девичьими глазами его сердце... Эта встреча произошла уже в моленной, куда жених уехал вперед и там ожидал невесту. У него все завертелось перед глазами, и во время самого обряда венчания он не мог избавиться от преступной теперь мысли о другой девушке. Да и обряд венчания по старинным уставам, с крюковыми напевами, ничего веселого не имел, и Галактиону казалось, что он уже умер и его хоронят. Ему сделалось страшно, страшно за себя, за ту девушку, которая сегодня сделается его подругой на всю жизнь... Не скрылось это настроение жениха от следивших за каждым его шагом женских глаз, и зашушукали сдержанные голоса, точно шуршала шелковая материя.

Дома оставались купцы из православных, как старик Луковников, привезший почти насильно упрямившегося Михея Зотыча, да иг-

роки в карты. Метал банк сначала Ечкин и проигрался. Понтировавший ему Евграф Огибенин с особенным удовольствием положил в свой бумажник несколько сторублевых ассигнаций, — игра шла, ввиду малого времени, крупными цифрами. Ечкина сменил Стабровский и тоже проигрался. Выигрывали Огибенин и Шахма. Последний задыхался от радости и спускал выигранные деньги куда-то за пазуху, точно в подвал. Кончилось тем, что начал метать Огибенин и в несколько талий проиграл не только все, что выиграл раньше, но и все деньги, какие были при нем, и деньги Шахмы. Все выиграл Стабровский и даже не моргнул глазом.

— Ах ты, шайтан! — ругался Шахма, ощупывая опустевшую пазуху и делая гримасы. — Ну, шайтан!.. Левая нога, правая нога, и нет ничего, а старый Шахма дурак.

— Дома еще осталось, — успокаивал его Стабровский, подавая на чай подручному, подававшему карты, десятирублевую ассигнацию.

Большой послесвадебный стол представлял собой оригинальную по пестроте карти-

ну. В главной зале, где сидели молодые, были размещены ближайшие родственники и самые почетные гости. В последнее число попали исправник Полуянов, Евграф Огибенин, Май-Стабровский, Шахма и даже Драке. Старик Луковников, как самый почетный гость, сидел рядом с Михеем Зотычем, казавшимся каким-то грязным пятном среди окружавшей его роскоши, — он ни за что не согласился переменить свою изгребную синюю рубаху и дорожную сермяжку. Из дам выделялись своим нарядом красавица жена Полуянова, а потом Евлампия Харитоновна, явившаяся в довольно смелом декольте, что немало смущало благочестивых древних старушек.

— Ох, стыдобушка головушке глядеть-то на полуштофову жену!.. У, срамница!.. Вся заголилась, точно в баню собралась идти...

В других комнатах были рассажены остальные гости, причем самые неважные были переведены вниз.

Свадебное веселье пошло своим чередом, увеличиваясь с каждою минутой, как катившийся с горы ком снега. Впрочем, все шло благополучно вплоть до того момента, когда

начали поздравлять молодых шампанским. Гости сбились в одной комнате. Сашка Горохов стоял с своим бокалом за спиной Огибенина и довольно терпеливо ждал своей очереди чокнуться с молодыми, но потом ему надоело ждать, он взглянул направо и увидал декольтированные женские плечи Евлампии Харитоновны. Она сидела к нему спиной, и он видел только разрез платья сзади, открывавший белую налитую спину, уходившую желобом под корсет. У Сашки моментально мелькнула счастливая мысль, и он весь свой бокал вылил за спину «полуштофовой жене». Поднялся визг, гвалт, хохот. Взбешенный Штофф кинулся с кулаками на обидчика, все повскочили с своих мест, — одним словом, весь стол рушился. Но этим скандал еще не кончился. Благодаря происходившей суматохе наверх незаметно пробрались два новых гостя: сын Лиодор и зять Булыгин, оба пьяные, с каким-то определенным намерением.

— Тут жиды да немцы радуются, а родному сыну да зятю и места нет! — гаркнул Лиодор. — Пашка, валяй жидов, а я немцев молотить начну!

Толпа расступилась, и новые гости предстали во всей красе. Лиодор был, по обыкновению, в черкеске и папахе. Женщины завизжали, а «полуштофова жена» забралась под стол, где ее потом едва нашли. Выручил всех Сашка Горохов, стоявший к Лиодору ближе других. Он бросился на смутьянов, схватил их в охапку и торжественно вынес из залы, не обращая внимания, как его молотили четыре кулака, четыре ноги, а Лиодор в бешенстве даже вцепился зубами в плечо. На лестнице догнал Полуянов и собственноручно спустил гостей вниз, так что затрещали деревянные ступени.

Одним словом, большой стол закончился крупным скандалом. Когда все немного успокоились и все пришло в порядок, хватились Михея Зотыча, но его и след простыл.

Глава 9

Колобовская свадьба отозвалась в Суслоне далеким эхом. Особенно волновались в писарском доме, куда вести собирались со всех сторон.

— Хорошую роденьку бог послал, — ворчал писарь Флегонт Васильич. — Оборотни ка-

кие-то... Счастье нам с тобой, Анна Харитоновна, на родню. Зятья-то на подбор, один лучше другого, да и родитель Харитон Артемьич хорош. Брезгует суслонским зятем.

— Погордилась сестрица Серафима Харитоновна, — соображала писарская жена Анна Харитоновна, — очень погордилась.

— И мамынька тоже хороша: про родную дочь забыла. Сказывают, на свадьбе-то какие-то жиды да татары радовались.

— Не будет добра, Флегонт Васильич. Все говорят, что неправильная свадьба. Куда торопились-то? Точно на пожар погнали. Так-то выдают невест с заминочкой... А все этот старичонко виноват. От него все...

— Уж этот мне старичонко! — рычал писарь, вспоминая нанесенный бродягой конфуз. — Колдун какой-то!

В писарском доме теперь собирались гости почти каждый день. То поп Макар с попадьей, то мельник Ермилыч. Было о чем поговорить. Поп Макар как раз был во время свадьбы в Заполье и привез самые свежие вести.

— Сбежал от большого стола старичок-то, женихов отец, — рассказывал он. — Бой у них

вышел промежду гостей, ну, оглянулись, а свекра-то и нет. Словно в воду канул...

— Ох, неспроста это, отец Макар!.. Не таковский он человек.

— Бродяга какой-то, вот и бегает.

Раз, когда так вечерком гости разговаривали разговоры, писарская стряпка Матрена вошла в горницу, вызвала Анну Харитоновну и заявила:

— Тут он, сродственник-то.

— Какой сродственник?

— Ну, а этот... старичонко с палочкой... Еще который сына женил в Заполье на твоей сестре.

— Да где он?

— А в кухне сидит у меня... Я пельмени делаю, оглянулась, а он сидит на лавочке. Точно из земли вырос, как гриб-дождевик.

Можно себе представить общее удивление. Писарь настолько потерялся, что некоторое время не мог выговорить ни одного слова. Да и все другие точно онемели. Вот так гостя бог послал!.. Не успели все опомниться, а мудреный гость уже в дверях.

— Флегонту Васильичу, родственнику, на-

ше почтение и всей честной компании.

— Здравствуйте, Михей Зотыч, — здоровался хозяин. — Будет вам шутки-то шутить над нами... И то осрамили тогда на всю округу. Садитесь, гостем будете.

— От свадьбы убежал... да... А у меня дельце до тебя, Флегонт Васильич, и не маленькое дельце.

— Утро вечера мудренее, Михей Зотыч... Завтра о деле-то поговорим. Да, пожалуй, я тебе вперед сам загадку загадаю.

Отведя гостя в сторону, писарь сказал на ухо:

— Меленку хотите у нас оборудовать? Я-то уж потом догадался и вперед с мужичками насчет земли словечка два закинул.

— Вот умница! — похвалил гость. — Это и мне так впору догадаться... Ай да молодец писарь, хоть на свадьбу и не звали!.. Не тужи, потом позовут, да сам не пойдешь: низко будет.

Появление старика Колобова в Суслоне было целым событием. Теперь уж все поняли, зачем птица прилетела. Всех больше волновался мельник Ермилыч, под рукой распус-

кавший нехорошие слухи про старика Колобова. Он боялся сильного конкурента. Но Колобов сам пришел к нему на мельницу в гости, осмотрел все и сказал:

— А ты не беспокойся, мельник, тесно не будет... Я ведь крупчатку буду ставить. Ты мели да помалывай серячок, а мы белую мучку будем делать, даст бог.

Потом старик побывал у попа Макара и тоже осмотрел все поповское хозяйство. Осмотрел и похвалил:

— Ничего, светленько живете, отец Макар... Дай бог так-то всякому. Ничего, светленько... Вот и я вырос на ржаном хлебце, все зубы съел на нем, а под старость захотел пшенички. Много ли нужно мне, старику?

— Что же, нам не жаль... — уклончиво отвечал отец Макар, отнесшийся к гостю довольно подозрительно. — Чем бог послал, тем и рады. У бога всего много.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Хорошо у вас, отец Макар... Приволье кругом. Вы-то уж привыкли и не замечаете, а мне в диковинку... Одним словом, пшеничники.

— Мельницу хочешь строить? — спраши-

вал поп Макар, слегка прищуривая один глаз.

— Не знаю, что выйдет, а охота есть.

От новых знакомых получалось одно впечатление; все жили по-богатому — и писарь, и мельник, и поп, — не в пример прочим народам. И мужики тоже не бедовали. Рожь сеяли только на продажу, а сами ели пшеничку. И хороша была эта ключевская пшеничка, хоть насквозь смотри. Смолотая на раструске пшеничная мука была хоть и серая, но такая душистая и вкусная. Суслонские бабы отлично пекли свой пшеничный хлеб, а ржаного и в заводе не было. Так уж велось исстари, как было поставлено еще при дедах. От всего веяло тугим хорошим достатком. И народ был все рослый и крепкий — недаром этих «пшеничников» узнавали везде.

Раз ночью писарский дом был поднят весь на ноги. Около часу к воротам подкатила почтовая тройка.

— Здесь живет писарь Замараев? — спрашивал в темноте сильный мужской голос.

Писарь растворил окно и довольно грубо ответил:

— Он самый.

— Запольские молодые приехали. Можно остановиться?

— Ах, милости просим!.. Это вы, Галактион Михеич?

— Да, да.

Большой сибирский тарантас тяжело вкатился на двор, а писарь выскочил на крыльцо со свечой в руках.

— Вот не ожидали-то, дорогие гости!

— Просим любить и жаловать, Флегонт Васильич.

Зятья оглядели друг друга и расцеловались. Молодая не выходила из экипажа, сладко потягиваясь. Она ужасно хотела спать. Когда вышла хозяйка, она с ленивою улыбкой, наконец, вылезла из тарантаса. Сестры тоже расцеловались.

— Давно мы с тобой не видались, Сима, — повторяла Анна Харитоновна, продолжая рассматривать сестру. — Какая-то ты совсем другая стала.

— Уж какая есть, Анюта. Мамаша тебе наказала кланяться и не велела сердиться.

— Хорошо, хорошо. Еще поговорим... А муж у тебя молодец, Сима. Красивый.

— Разве?

Серафима Харитоновна тихо засмеялась и еще раз поцеловала сестру. Когда вошли в комнату и Серафима рассмотрела суслонскую писаршу, то невольно подумала: «Какая деревенщина стала наша Анна! Неужели и я такая буду!» Анна действительно сильно опустилась, обрюзгла и одевалась чуть не по-деревенски. Рядом с ней Серафима казалась барыней. Ловко сшитое дорожное платье сидело на ней, как перчатка.

— Вы нас извините, — говорил Галактион, — не во-время побеспокоили... Ночь, да и остановиться негде.

— Ну, что за счеты между родственниками! — политично отвечал писарь. — Тятенька-то ваш здесь, в Суслоне... Только у нас не хочет жить. Карахтерный старичок.

— Папаша, вероятно, опять пешком пришли? — осведомилась Серафима. — Они все по-своему... на особицу.

Галактион очень понравился и писарю и жене. Настоящий молодец, хоть куда поверни. На отца-то и не походит совсем. И обращение самое политичное.

— Ну, этот из молодых, да ранний, — задумчиво говорил писарь, укладываясь на кровать с женой. — Далеко пойдет.

— А Симка-то так ему в глаза и заглядывает, как собачка.

— Что же, насиделась она в девках. Тоже любопытно... Известная ваша женская слабость. Какого еще прынца нужно?

— Здесь, говорит, жить будут.

— Отлично. Нам веселее... Только вот старичонко-то того... Я его просто боюся. Того гляди, какую-нибудь штуку отколет. Блаженный не блаженный, а около этого. Такие-то вот странники больше по папертям стоят с ручкой.

Молодой Колобов понравился всем в Суслоне: и учен, и прост, и ловок. Зато молодая не пришлась по вкусу, начиная с сестры Анны. Очень уж модная и на все фыркает.

— Неужто мы здесь будем жить? — капризно спрашивала она мужа.

— А то где же?

— Да здесь с тоски пропадешь.

— Некогда будет тосковать.

Серафима даже всплакнула с горя. С сест-

рой она успела поссориться на другой же день и обозвала ее неотесаной деревенщиной, а потом сама же обиделась и расплакалась.

— Вы на нее не обращайте внимания, Анна Харитоновна, — спокойно заметил Галактион и строго посмотрел на жену.

Этого было достаточно, чтобы Серафима сейчас же притихла и даже попросила у Анны прощения.

Вот с отцом у Галактиона вышел с первого раза крупный разговор. Старик стоял за место для будущей мельницы на Шеинской курье, где его взяли тогда суслонские мужики, а Галактион хотел непременно ставить мельницу в так называемом Прорыве, выше Шеинской курьи версты на три, где Ключевая точно была сдавлена каменными утесами.

— Нельзя на курье строиться, — авторитетно говорил Галактион. — По весне вода широко будет разливаться, затопит пашни, и не оберешься хлопот с подтопами.

— А у Ермилыча поставлена мельница на Жулановском плесе? — спросил Михей Зотыч.

— Во-первых, родитель, у Ермилыча мельница-раструска и воды требует вдвое меньше, а потом Ермилыч вечно судится с чураковскими мужиками из-за подтопов. Нам это не рука. Здешний народ бедовый, не вдруг уломаешь. В Прорыве вода идет трубой, только косою плотиной ее поджать.

— На берегу места мало.

— Ничего, родитель: в тесноте, да не в обиде.

— Тебя разве переспоришь?

— А ежели я дело говорю?

Теперь роли переменились. Женившись, Галактион сделался совершенно другим человеком. Свою покорность отцу он теперь выкупал вызывающею самостоятельностью, и старик покорился, хотя и не вдруг. Это была серьезная борьба. Михей Зотыч сердился больше всего на то, что Галактион начал относиться к нему свысока, как к младенцу, — выслушает из вежливости, а потом все сделает по-своему.

— Ты у меня смотри! — пригрозился раз старик. — Я не посмотрю, что ты женатый... да!

Галактион только улыбнулся. Ушло время учить да свою волю родительскую показывать. Женился из-под палки, — чего же еще нужно?

Глава 10

Дело с постройкой мельницы закипело благодаря все той же энергии Галактиона. Старик чуть не испортил всего, когда пришлось заключать договор с суслонскими мужиками по аренде Прорыва. «Накатился упрямый стих», как говорил писарь. Мужики стояли на своем, Михей Зотыч на своем, а спор шел из-за каких-то несчастных двадцати пяти рублей.

— Эх, родитель, родитель! — корил Галактион. — Двадцать пять рублей дороги, а время нипочем... Мы еще с осени выложим фундамент, а за зиму выстроимся. Время-то дороже денег. Дай я переговорю с мужиками-то.

— А ты, щучий сын, умнее отца хочешь быть?

— Постой, родитель... Знаешь, как большую рыбу из воды вытаскивают: дадут ей поводок, она и ходит, а притомилась — ее на берег.

С мужиками Галактион говорил, как свой брат, и живо повернул все дело. Обе стороны остались довольны. Контракт был подписан, и Галактион принялся за работу. План мельницы был составлен им еще раньше. Теперь нужно было торопиться с постройками. Стояла осень, и рабочих на месте нельзя было достать ни за какие деньги, пока не кончится уборка хлеба. И это предвидел Галактион и раньше нанял артель вятских плотников в сорок человек да другую артель каменщиков. Деревенские мужики по-настоящему не умели и топора в руки взять. Будет с них и того, если привезут бревна да камень наломают.

У Прорыва в несколько дней вырос настоящий лагерь. Больше сотни рабочих принялись за дело опытною рукою. С плотничьей артелью вышел брат Емельян и сделался правою рукою Галактиона. Братья всегда жили дружно.

Галактион задался целью непременно выстроить жилой дом к заморозкам, чтобы переселиться с женой на место работы. Жизнь у писаря его тяготила, да и ездить было тяжело. На счастье ему попался в Баклановой пусто-

вавший поповский дом, который он и купил на снос. Оставалось только перевезти его да заложить фундамент. Галактиону везде везло, — такой уж удачливый зародился. Даже поп Макар одобрял за «благопоспешность». Больше всего Галактион был доволен, что отец уехал на заводы заканчивать там свои дела и не мешался в дело. Старик был умный, да только очень уж упрям.

Постройка новой мельницы отозвалась в Суслоне заметным оживлением, особенно по праздникам, когда гуляли здесь обе вятские артели. Чувствовалось, что делалось какое-то большое дело, и все ждали чего-то особенного. Были и свои скептики, которые сомневались, выдержит ли старый Колобов, — очень уж большой капитал требовался сразу. В качестве опытного человека и родственника писарь Замараев с большими предосторожностями завел об этом речь с Галактионом.

— Нет, у отца больших денег нет, — откровенно объяснил тот.

— Так-с... да. А как же, например, с закупкой хлеба, Галактион Михеич? Ведь большие тысячи нужны будут.

— Добудем. Ту же мельницу в банк заложим.

— Это как же так: в банк?

Галактион объяснил, и писарь только развел руками. Да, хитрая штучка, и без денег и с деньгами. Видно, не старые времена, когда деньги в землю закапывали да по подпольям прятали. Вообще умственно. Писарь начинал смотреть теперь на Галактиона с особенным уважением, как на человека, который из ничего сделает, что захочет. Ловкий мужик, нечего оказать.

— А мы-то тут живем дураки дураками, — со вздохом говорил писарь. — У нас все по старинке... На гроши считаем.

— Ничего, выучитесь.

Утром Галактион вставал в четыре часа, уезжал на работу и возвращался домой только вечером, когда стемнеет. Эта энергия приводила всех в невольное смущение. В Суслоне не привыкли к такой работе.

— А что будет, если я буду чаи распивать да выеду на работу в восемь часов? — объяснял Галактион. — Я раньше всех должен быть на месте и уйти последним. Рабочие-то по хо-

зяину бывают.

— Уж это что говорить... Правильно. Какая это работа, ежели с чаями проклажаться?

Писарь давно обленился, отстал от всякой работы и теперь казнился, поглядывая на молодого зятя, как тот поворачивал всякое дело. Заразившись его энергией, писарь начал заводить строгие порядки у себя в доме, а потом в волости. Эта домашняя революция закончилась ссорой с женой, а в волости взбунтовался сторож Вахрушка.

— Что я тебе каторжный дался? — заявил сторож. — Нет, брат, будет мудрить! Шабаш!

— Што-о?!.. Да как ты смеешь, кислая шерсть?

— А вот и смею... Не те времена. Подавайте жалованье, и конец тому делу. Будет мне терпеть.

Писарь выгнал Вахрушку с позором, а когда вернулся домой, узнал, что и стряпка Матрена отошла. Вот тебе и новые порядки! Писарь уехал на мельницу к Ермилычу и с горя кутил там целых три дня.

Сестры в течение двух месяцев совместной жизни успели перессориться и помириться

несколько раз, стараясь не доводить своих размолвок до Галактиона. Обе побаивались его, хотя он никогда не сказал ни одного грубого слова.

— Высидела ты себе мужа, Сима, — корила Анна сестру. — Пожалуй, и не по чину тебе достался. Вон какой орел!

— А тебе завидно? Не чета твоему писарю.

— Смотри, матушка, не прохвались. Боек уж очень.

Счастье влюбленной в мужа Серафимы кололо глаза засидевшейся в деревне Анне. Вместе росли, а судьба разная. Анна начинала теперь придираться к мужу и на каждом шагу ставила ему в пример Галактиона.

— Ты посмотри на себя-то, — поговаривала Анна, — тебе водку пить с Ермилычем да с попом Макаром, а настоящего-то ничего и нет. Ну, каков ты есть человек, ежели тебя разобрать? Вон глаза-то заплыли как от пьянства... Небойсь Галактион компании не ломает, а всегда в своем виде.

— Отстань, смола! Галактион, Галактион, — дался вам этот Галактион! Еще посмотрим: летать летает, да где сядет.

— У вас с Ермилычем не спросит.

— Молчать! Ты вот лучше училась бы у сестры Серафимы, как следует уважать мужа... да! И по домашности тоже все запустила... Вон стряпка Матрена ушла.

— Все из-за тебя же, изверг. Ты прогнал Вахрушку, а он сманил Матрену. У них уж давно промежду себя узоры разные идут. Все ты же виноват.

Писарь Замараев про себя отлично сознавал недосягаемые совершенства нового родственника, но удивлялся ему про себя, не желая покориться жене. Ну что же, хорош — и пусть будет хорош, а мы и в шубе навыворот проживем.

Слухи о новой мельнице в Прорыве разошлись по всей Ключевой и подняли на ноги всех старых мельников, работавших на своих раструсочных мельницах. Положим, новая мельница будет молоть крупчатку, а все-таки страшно. Это была еще первая крупчатка на Ключевой, и все инстинктивно чего-то боялись.

— О девяти поставах будет мельница-то, — жаловался Ермилыч. — Ежели она, например-

но, ахнет в сутки пятьсот мешков? Съест она нас всех и с потрохами. Где хлеба набраться на такую прорву?

— Были бы деньги, а хлеба навезут.

Чтобы отвести душу, Ермилыч и писарь сходились у попа Макара и тут судачили вволю, благо никто не мог подслушать. Писарь отстаивал новую мельницу, как хорошее дело, а отец Макар задумчиво качал головой и повторял:

— Увидим, увидим, братие... Все увидим.

— Нечего и смотреть: дело ясное, — сказал писарь.

— Первое, не есть удобно то, что Колобовы староверы... да. А второе, жили мы без них, благодаря бога и не мудрствуя лукаво. У всех был свой кусок хлеба, а впредь неведомо, что и как.

— И ведать нечего, отец, — уныло повторял Ермилыч. — Раздавят нас, как лягушек. Разговор короткий. Одним словом — силища.

— А вы того не соображаете, что крупчатка хлеб даст народам? — спросил писарь. — Теперь на одной постройке сколько народу орудует, а дальше — больше. У которых мужич-

ков хлеб-то по три года лежит, мышь его ест и прочее, а тут на, получай наличные денежки. Мужичок-то и оборотится с деньгами и опять хлебца подвезет.

— Деньги — весьма сомнительный и даже опасный предмет, — мягко не уступал поп Макар. — Во-первых, деньги тоже к рукам идут, а во-вторых, в них сокрыт великий соблазн. На что мужику деньги, когда у него все свое есть: и домишко, и землица, и скотинка, и всякое хозяйственное обзаведение? Только и надо деньги, что на подати.

— А ежели у нас темнота? Будут деньги, будет и торговля. Надо же и купцу чем-нибудь жить. Вот и тебе, отец Макар, за требы прибавка выйдет, и мне, писарю. У хлеба не без крох.

— Вот главное, чтобы хлеб-то был, во-первых, а во-вторых, будущее неизвестно. С деньгами-то надобно тоже умеючи, а зря ничего не поделаешь. Нет, я сомневаюсь, поколику дело не выяснится.

А Галактион точно не хотел ничего замечать и продолжал свою работу. Если бы все те, которые теперь судили и пересуживали

его крупчатку, могли видеть, что он думал! Начать с того, что мельницу он считал делом так себе, пока, а настоящее было не здесь. Сколько хлопот с мельницей, а дело все-таки мертвое. Пришит к своему месту, как пуговица, и никуда не сдвинешься. Его тянуло дальше, на широкий простор. Наблюдая работы, он часто вспоминал свой разговор с немцем Штоффом и крепко задумывался. Умен и оборотист немец, вообще — ловкач. Выжидает, выжидает, да к настоящему делу и приспособится. Немало огорчало Галактиона и то, что не с кем ему было в Суслоне даже поговорить по душе. Всем им и мельница-крупчатка в диковину.

«Эх, если бы не отец! — с какою-то злобой иногда думал Галактион. — А то сиди в Суслоне».

К жене Галактион относился по прежнему с сдержанною ласковостью. Он даже начинал ее любить за ее безответность и за страстную любовь. Правда, иногда ему делалось совестно, что он по-настоящему не может ответить на ее робкие ласки, но в нем накипало и крепло хорошее чувство к ней. Молодость

брала свое, а потом сознание, что сделанного не переделаешь. Не раз глядя на нее, он вспоминал красавицу Харитину, — у той все бы вышло не так. Странно, что безответная Серафима каким-то чутьем слышала эти его тайные мысли, стихала и точно делалась меньше. Такая несчастная вся, и ему вдруг станет ее жаль. Чем же она виновата, что так судьба вышла? А вот с Харитиной он мог бы и поговорить по душе, и посоветоваться, и все пополам разделить. Разве она стала бы скучать, как Серафима? Небойсь нашла бы дело и всех бы постановила.

Впрочем, Галактион упорно отгонял от себя все эти мысли. Так, глупость молодая, и больше ничего. Стерпится — слюбится. Иногда Серафима пробовала с ним заговаривать о серьезных делах, и он видел только одно, что она ровно ничего не понимает. Старается подладиться к нему и не умеет.

— Ты уж лучше молчи, Сима, — ласково шутил он.

— Может, привыкну и буду понимать, Глаша. Все девицы сначала ничего не понимают, а потом замужем и выучатся.

Ему не нравилось, что она зовет его Глашей, — какое-то бабье имя.

Но все эти сомнения и недосказанные мысли разрешились сами собой, когда Серафима, краснея и заикаясь, призналась, что она беременна. Муж посмотрел на нее непонимающими глазами, а потом так хорошо и любовно обнял и горячо поцеловал... еще в первый раз поцеловал.

— Милая... Милая!..

— Ты меня любишь, да? Немножечко? — шептала она, сгорая от нахлынувшего на нее счастия.

Потом она расплакалась, как плачут дети, а он взял ее на руки и носил по комнате, как ребенка.

— Милая... Милая!..

Глава 11

Пропавший на время из Суслона Михей Зотыч был совсем близко, о чем никто не подозревал. Он успел устроить кое-какие дела у себя на заводе и вернулся на Ключевую, по обыкновению, в своем бродяжническом костюме. Он переходил из деревни в деревню, из села в село, все высматривал, обо всем раз-

узнавал и везде сохранял самое строгое incognito. Это уже была такая крепостная привычка делать все исподтишка, украдом. Никто не знал, что старик Колобов был в Суслоне и виделся со старым благоприятелем Вахрушкой, которого и сманил к себе на службу.

— За битого семь небитых дают, — шутил он, по обыкновению. — Тебя в солдатчине били, а меня на заводской работе. И вышло — два сапога пара. Поступай ко мне на службу: будешь доволен.

— А какое твое жалованье, Михей Зотыч?

— Вот и вышел дурачок, а еще солдат: жалованье по жалованью. Что заслужишь, то и получишь.

— А ежели ты меня омманешь?

— А ты старайся.

Вахрушка почесал в затылке от таких выгодных условий, но, сообразив, согласился. Богатый человек Михей Зотыч, и не стать ему обижать старого солдата.

— Поглянулся ты мне, вот главная причина, — шутил Михей Зотыч. — А есть одна у тебя провинка.

— Ну, говори, какая?

— А такая, дурачок. Били тебя на службе, били, а ты все-таки не знаешь, в какой день пятница бывает.

— Ну, пошел огород городить... Так не омманешь?

— Сказано: будешь доволен. Главное, скула мне у тебя нравится: на ржаной хлеб скула.

Сказано — сделано, и старики ударили по рукам. Согласно уговору Михей Зотыч должен был ожидать верного слугу в Баклановой, где уже вперед купил себе лошадь и телегу. Вахрушка скоро разделался с писарем и на другой день ехал уже в одной телеге с Михеем Зотычем.

— Ах, служба, служба: бит небитого везет! — смеялся мудреный хозяин, похлопывая Вахрушку по плечу. — Будем жить, как передняя нога с задней, как грива с хвостом.

— Страсть это я люблю, как ты зачнешь свои загадки загадывать, Михей Зотыч. Даже мутит... ей-богу... Ну, и скажи прямо, а то прямо ударь.

— А ты головой, дурашка, головой добивайся, умишком раскинь, обмозгуй... хе-хе!..

Эти хозяйские шуточки нагоняли на Вах-

рушку настоящую тоску, и он начинал угрюмо молчать. В корень изводил его хитрый старичонко, точно песку в башку насыпет.

— Ты вот что, хозяин, — заявил Вахрушка на другой день своей службы, — ты не мудри, а то...

— Ну, ну, испугай!

— Уйду!.. Вот тебе и весь сказ!

— Это ты загадку загадываешь, мил человек? Ах, дурашка, дурашка! Никуда ты не уйдешь, потому как я на тебя зарок положил великий, и при этом задаток четыре недели на месяц ты уж получил вперед сполна...

Цель старика Колобова была объехать тот хлебный район, который должен был поставлять пшеницу на будущую мельницу. Ему хотелось на месте познакомиться с будущими производителями и поставщиками сырья. Пусть мельницу строит Галактион — ему и книги в руки, а Михей Зотыч объезжал теперь свое будущее царство. Нужно было создать целый рынок и вперед сообразить все условия. Это было поважнее постройки мельницы, и он не мог доверить такого ответственного труда даже Галактиону. Молод еще

и ничего не понимает, да и яйца курицу не учат.

В лице Вахрушки хитрый старик приобрел очень хорошего сотрудника. Вахрушка был человек бывалый, насмотрелся всячины, да и свою округу знал как пять пальцев. Потом он был с бедной приуральской стороны и знал цену окружавшему хлебному богатству, как никто другой.

— Вахрушка, ты у меня в том роде, как главнокомандующий!

— Похоже, Михей Зотыч, ежели считать по заплаткам.

— Ну, вот, вот... Выговорил-таки хоть одно умное слово.

Приезжая куда-нибудь в село, Михей Зотыч сказывался работником, а Вахрушку навеличивал хозяином. Эта комедия была только продолжением предыдущего шутовства, и Вахрушка скоро привык. «Что ж, хозяин так хозяин!» По пути они скупали у баб коноплю, лен и дешевые деревенские харчи, а эта купля служила только предлогом для подробных расспросов — что и как. Чем дальше они таким образом ехали, тем ярче выступала кар-

тина зауральского крестьянского богатства. Хорошо здесь жил народ, запасливо, и не боялся черного дня.

Всего больше приводил в восторг Михея Зотыча аршинный зауральский чернозем.

— Вот так земля! — восхищался старик. — Овчина овчиной!

— Уж я тебе говорил, што удобрять здесь землю и не слыхивали, — объяснил Вахрушка. — Сама земля родит.

А какие попадались деревни и села — одно загляденье. Хоть картину пиши. Справно жил народ, с тугим крестьянским достатком. Всего было вволю — и земли, и хлеба, и скотины. Правда, мужик-пшеничник сильно поленивался, но от достатка и вор не ворует. У большинства крестьян были запасы на год, на два вперед. Сбывали только столько, сколько было нужно на подати, а остальное все шло впрок. Так хозяйство ставилось еще отцами и дедами, отнимавшими благодатный край у неумытой орды. Башкирские волости раздвинулись как-то по краям и не имели никакого экономического значения в общем хозяйстве богатейшего края.

В Вахрушке, по мере того как они удалялись вглубь бассейна Ключевой, все сильнее сказывался похороненный солдатчиной коренной русский пахарь. Он то и дело соскакивал с телеги, тыкал кнутовищем в распаханную землю и начинал ругаться.

— Разе это работа, Михей Зотыч? На два вершка в глубину пашут... Тьфу! Помажут кое-как сверху — вот и вся работа. У нас в Чердынском уезде земелька-то по четыре рублика ренды за десятину ходит, — ну, ее и холят. Да и какая земля — глина да песок. А здесь одна божецкая благодать... Ох, бить их некому, пшеничников!

Путешественники несколько раз ночевали в поле, чтобы не тратиться на постой. Михей Зотыч был скуп, как кощей, и держал солдата впроголодь. Зачем напрасно деньги травить? Все равно — такого старого черта не откормишь. Сначала солдат роптал и даже ругался.

— Ах ты, дурашка, брюхо-то не зеркало, да и мы с тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного хлебца, и слава богу... Как тебя будет разжигать аппетит, ты богу молись, чревоугодник!

Солдат никак не мог примириться с этой теорией спасения души, но покорялся по солдатской привычке, — все равно нужно же кому-нибудь служить. Он очень скоро подпал под влияние своего нового хозяина, который расшевелил его крестьянские мысли. И как ловко старичонко умел наговаривать, так одно слово к другому и лепит, да так складно.

Хорошо было со стариком ночевать у огонька. Осенние ночи такие темные, огонек горит так весело.

— Земля — все, понимаешь? — говорил Михей Зотыч. — А остальное пустяки... И заводы, и фабрики, и машины.

— Это ты правильно.

— А почему земля все? Потому, что она дает хлеб насущный... Поднялся хлебец в цене на пятачок — красный товар у купцов встал, еще на пятачок — бакалея разная остановилась, а еще на пятачок — и все остальное село. Никому не нужно ни твоей фабрики, ни твоего завода, ни твоей машины... Все от хлебца-батюшки. Урожай — девки, как блохи, замуж поскакали, неурожай — посиживай у окошечка да поглядывай на голодных жени-

хов. Так я говорю, дурашка?

— Тоже вот и насчет водки, Михей Зотыч... Солдату плепорция казенная, а отставному где взять в голодный-то год?

Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское умиление, и он готов был целовать благодатную землю, точно еврей после переселения в обетованную землю. Уж очень хорошо было кругом. Народ жил полною чашей, — любо посмотреть. Этакого-то угодного места по всей Расее не сыщешь с огнем. Народ еще не «испотачился» и жил по-божески. Все свое, домашнее, — вот и достаток, потому что как все от матушки-земли жили и не гнались на городскую руку моды заводить. Прикидывая в уме хлебный район по одной Ключевой, Михей Зотыч видел, что сырья здесь хватит на двадцать таких крупчаток, какую он строил в Прорыве.

— Всем хватит, Вахрушка, и еще от нас останется, да.

— Как не хватить, Михей Зотыч?

Другой вопрос, который интересовал старого мельника, был тот, где устроить рынок. Не покупать же хлеб в Заполье, где сейчас со-

средоточивались все хлебные операции. Один провоз съест. Мелкие торжки, положим, кое-где были, но нужно было выбрать из них новин пункт. Вот в Баклановой по воскресеньям бывал подвоз хлеба, и в других деревнях.

— Эх, повернуть бы торжок в Суслон! — мечтал старик.

Он прикинул еще раньше центральное положение, какое занимал Суслон в бассейне Ключевой, — со всех сторон близко, и хлеб сам придет. Было бы кому покупать. Этак, пожалуй, и Заполью плохо придется. Мысль о повороте торжка сильно волновала Михея Зотыча, потому что в этом заключалась смерть запольским толстосумам: копеечка с пуда подешевле от провоза — и конец. Вот этого-то он и не сказал тогда старику Луковникову.

Это путешествие чуть не закончилось катастрофой. Старики уже возвращались домой. Дело происходило ночью, недалеко от мельницы Ермилыча. Лошадь шла шагом, нога за ногу. Старики дремали, прикорнув в телеге. Вдруг Вахрушка вздрогнул, как строевая лошадь, заслышавшая трубу.

— Михей Зотыч, родимый, не ладно!

— А! Что? — бормотал спросонья хозяин.

— Слышишь?

Где-то вдали тонко прозвонили дорожные колокольчики и замерли, точно порвалась струна.

— Исправник навстречу гонит! — в ужасе прошептал Вахрушка, проникнутый смертным страхом ко всякому начальству.

— Ну, и пусть гонит. Мы ему не мешаем.

— Ах, ты какой, право!.. Лучше бы своротить с дороги. Неровен час... Ежели пьяный, так оно лучше не попадаться ему на глаза.

— Давай сюда вожжи, дурашка.

Вахрушка так и замер от страха. А колокольчики так и заливаются. Ближе, ближе, — вот уж совсем близко.

— Михей Зотыч, своротим от греха, — молил Вахрушка.

— Молчи, дурашка.

Ночь была темная, и съехались носом к носу.

— Эй, кто там дорогу загородил? — рявкнул голос из исправничьего экипажа.

— Черт с репой! — спокойно ответил Ми-

хей Зотыч.

— Сворачивай с дороги, каналья!

— Ты сворачивай, порожнем на тройке едешь, а я с возом на одной!

Кто-то соскочил с козел исправничьего экипажа и накинулся с неистовым ревом на непокорную телегу. В воздухе свистнула нагайка.

— Бей каналью! — кричал сам Полуянов, сидя в экипаже.

— Илья Фирсыч, да ты никак с ума спятил! — крикнул Колобов, ловко защищаясь кнутиком от казачьей нагайки. — Креста на тебе нет… Аль не узнал?

— Да кто там? — сердился исправник.

— Сказано: черт с репой! Бит небитого везет.

— Тьфу! Дурак какой-то… Ну, подойди сюда.

— Ох, не подходи! — в ужасе шептал Вахрушка, ухватывая хозяина за рукав.

Но Колобов смело подошел к экипажу. Полуянов чиркнул спичку и с удивлением смотрел на бродягу.

— Не признаешь? Хе-хе. А еще на свадьбе

вместе пировали в Заполье.

— Да это ты, Михей Зотыч? Тьфу, окаянный человек! — засмеялся грозный исправник. — Эк тебя носит нелегкая! Хочешь коньяку? Нет? Ну, я скоро в гости к тебе на мельницу приеду.

— Милости просим.

Когда исправничий экипаж покатил дальше, Вахрушка снял шапку и перекрестился. Он еще долго потом оглядывался и встряхивал головой. С этого момента он проникся безграничным удивлением к смелости Михея Зотыча: уж если исправника Полуянова не испугался, так чего же ему бояться больше?

Глава 12

Как Галактион сказал, так и вышло: жилой дом на Прорыве был кончен к первопутку, то есть кончен настолько, что можно было переехать в него молодым. Серафима торжествовала. Ей так надоело жить в чужих людях, у всех на виду, а тут был свой угол, свое гнездо. Она больше не робела перед мужем и с затаенною радостью чувствовала, что он начинает ее любить. Это высказывалось в тысяче тех обыденных мелочей, которые в отдель-

ности даже назвать трудно. Муж теперь предупреждал ее малейшие желания и следил за каждым шагом. Но ей решительно ничего было не нужно. Боже мой, как она была счастлива, а новый дом на Прорыве казался ей раем.

— У нас теперь свое гнездо, — повторяла она, ласкаясь к мужу. — И никто, никто не смеет его тронуть. Да, Глаша?

— Кому же это нужно, Сима?

— Нет, я так, к примеру. Мне иногда делается страшно. Сама не знаю отчего, а только страшно, страшно, точно вот я падаю куда-то в пропасть. И плакать хочется, и точно обидно за что-то. Ведь ты сначала меня не любил. Ну, признайся.

— Перестань болтать глупости!

— Как же ты мог любить, когда совсем не знал меня? Да я тебе и не нравилась. Тебе больше нравилась Харитина. Не отпирайся, пожалуйста, я все видела, а только мне было тогда почти все равно. Очень уж надоело в девицах сидеть. Тоска какая-то, все не мило. Я даже злая сделалась, и мамаша плакала от меня. А теперь я всех люблю.

Это счастливое настроение заражало и Га-

лактиона, и он находил жену такою хорошей и даже красивой. От девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая женская мягкость. Галактиону доставляло удовольствие ухаживать за женой.

Серафиме нравилось и самое место, выбранное Галактионом под мельницу. Ключевая была здесь такая быстрая да глубокая, а напротив каменным гребнем поднималась большая гора. Из-за горы, вниз по Ключевой, виднелась Шеинская курья, а за ней белою свечой поднималась церковь в Суслоне. Место под мельницу было выбрано на левом берегу, на каменном мысу, вдававшемся в Ключевую. Правда, уже теперь чувствовалась некоторая теснота, но когда будут кончены постройки, сделается совсем свободно. Серафима по-своему мечтала о будущем этого клочка земли: у них будет свой маленький садик, где она будет гулять с ребенком, потом она заведет полное хозяйство, чтобы дома все было свое, на мельничном пруду будет плавать пара лебедей и т. д. Эти лебеди снились Серафиме даже во сне, как символ семейного счастия. Да, она была счастлива и чувствова-

ла, что все ее любят, даже старик Михей Зотыч. Она понимала, что он любит собственно не ее, а тех будущих внучат, которых она подарит ему.

— Так, невестушка, так, милая... — повторял старик, глядя на нее любящими глазами. — Внучка мне нужно.

— Будет внучек, папаша.

— То-то, смотри, Серафима Харитоновна, не осрамись, да и меня не подведи.

Такие откровенные разговоры заставляли Серафиму вспыхивать ярким румянцем, хотя она и сама была уверена, что родится именно мальчик. Даже молчаливый Емельян теперь как-то особенно подолгу заглядывался на невестку и начинал ухмыляться. Ему тоже нравилась ласковая и старавшаяся всем угодить сноха. Приехал и третий брат, Симон, совсем еще молодой человек, состоявший в семье на положении мальчика. Он был самый красивый и походил на мать, но отец как-то недолюбливал его за недостаток характера. Мальчик был такой ласковый, и Серафима полюбила его с первого раза, как родного брата.

— У нас вся семья сердитая, — потихоньку рассказывал мальчик. — И я всех боюсь.

Это была первая женщина, которую Симон видел совсем близко, и эта близость поднимала в нем всю кровь, так что ему делалось даже совестно, особенно когда Серафима целовала его по-родственному. Он потихоньку обожал ее и боялся выдать свое чувство. Эта тайная любовь тоже волновала Серафиму, и она напрасно старалась держаться с мальчиком строго, — у ней строгость как-то не выходила, а потом ей делалось жаль славного мальчугана.

— Симон, не смотри на меня так! — строго говорила она.

— Я... я ничего.

— Если Галактион увидит, он тебе задаст.

Вообще в новом доме всем жилось хорошо, хотя и было тесновато. Две комнаты занимали молодые, в одной жили Емельян и Симон, в четвертой — Михей Зотыч, а пятая носила громкое название конторы, и пока в ней поселился Вахрушка. Стряпка Матрена поступила к молодым, что послужило предметом серьезной ссоры между сестрами.

— Жили-жили, да в благодарность и стряпку сманили, — корила жена писаря.

— Никто и не думал сманивать, — оправдывалась Серафима. — Сама пришла и живет. Мы тут ни при чем. Скажешь, что и солдата тоже мы сманили?

— И солдата... Умны уж очень.

Между зятьями временно пробежала черная кошка, и недоразумения возникали из-за всяких пустяков. Впрочем, они скоро помирились благодаря политике Галактиона. По первопутку приехал в гости дорогой тестюшка Харитон Артемьевич вместе с любимой дочерью Харитиной, — вернее сказать, не приехал, а его привезла Харитина. Старик с самой свадьбы не переставал кутить и начал заговариваться. Анфуса Гавриловна решительно ничего не могла с ним поделать и отправила на поправку к новому зятю, на которого надеялась теперь, как на каменную стену. Очень уж умный и почтительный зять и все устроит. Из писем Серафимы Анфуса Гавриловна знала их жизнь и заочно восторгалась новым зятем. Галактион воспользовался появлением гостей, чтоб устроить новоселье, как того тре-

бовали деревенские порядки. Был приглашен в первую голову писарь Замараев.

— Да ты с ума сошел, Галактион? — удивилась даже смелая на все Харитина.

— Нисколько. Он такой же зять, как и я. Родне не приходится считаться. Нечего нам делить.

— А тятенька?

— Ничего и тятенька. В гостях воля хозяйская.

Поведение Галактиона навсегда примирило Анну с добрым и умным новым зятем. Писарь тоже не мог не согласиться, что Галактион все по-умному делает.

Были приглашены также мельник Ермилыч и поп Макар. Последний долго не соглашался ехать к староверам, пока писарь не уговорил его. К самому новоселью подоспел и исправник Полуянов, который обладал каким-то чутьем попадать на такие праздники. Одним словом, собралась большая и веселая компания. Как-то все выходило весело, начиная с того, что Харитон Артемьевич никак не мог узнать зятя-писаря и все спрашивал:

— Да ты кто таков, человек, будешь?

— Не чужой человек, тятенька. Прежде зятем считали.

— Зятем? Тьфу!.. Тоже и скажет человек. Разе у меня такие зятья? Ах ты, капустный зверь!

Молодая хозяйка была счастлива, как никогда, и сияла своим молодым счастьем. Она походя обнимала Харитину и целовала ее от избытка радости. Бойкая и взбалмошная Харитина против обыкновения держала себя как-то особенно солидно и казалась даже грустной. Ее только забавляли преследовавшие ее глаза Симона. Мальчик совсем увлекся, увлекся сразу и ничего больше не видел, кроме запольской красавицы с ее поджигающим смехом, вызывающею улыбкою и бойкою речью. Он так ел ее глазами, что даже заметил Галактион и сказал жене:

— Ты скажи Симону, что так нельзя... Мне самому неловко сказать. Совсем дурак мальчишка.

— Что же тут мудреного? Харитину как увидят, так и влюбятся. Уж такая уродилась... Она у меня сколько женихов отбила. И ты тоже женился бы на ней, если бы не отец.

— Перестань болтать глупости! Как тебе не стыдно?

— Я ведь не ревную, а так, к слову сказала.

Веселье продолжалось целых три дня, так что Полуянов тоже перестал узнавать гостей и всех спрашивал, по какому делу вызваны. Он очувствовался только тогда, когда его свозили в Суслон и выпарили в бане. Михей Зотыч, по обыкновению, незаметно исчез из дому и скрывался неизвестно где.

Больше всего доставлял хлопот дорогой тестюшка, с которым никто не мог управиться, кроме Галактиона. Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу Харитину тоже. Раз ночью с ним сделалось совсем дурно. Стерегший гостя Вахрушка только махал руками.

— Я боюсь, — заявила Серафима разбуженному мужу. — Иди ты... Ах, господи, вот согрешенье-то!.. Мамаша тоже послала гостя.

Галактион накинул халат и отправился в контору, где временно помещен был Харитон Артемьич. Он сидел на кровати с посиневшим лицом и страшно выкаченными глазами. Около него была одна Харитина. Она тоже

только что успела соскочить с постели и была в одной юбке. Плечи были прикрыты шалью, из-под которой выбивалась шелковая волна чудных волос. Она была бледна и в упор посмотрела на Галактиона.

— Пошли скорее Вахрушку за нашатырным спиртом, — тихо и повелительно приказала она. — Да чтобы живо. Потом принеси снегу и воды.

Девушка знала, как нужно отваживаться с пьяницей-отцом, и распоряжалась, как у себя дома. Старик сидел по прежнему на кровати и тяжело хрипел. Временами из его груди вырывалось неопределенное мычание, которое понимала только одна Харитина.

— Ммм... моч... рю... ку... ррюмочку.

— Подожди, будет и рюмочка, — сурово говорила Харитина, щупая голову ошалевшего родителя. — Вот до чего себя довел.

— Мм... не ббуду... не ббуду...

Лицо его искривилось, глаза страшно выкатились, и он повалился на постель. В этот момент вбежал Галактион со снегом и водой. Холодные компрессы сделали свое дело, а поданная рюмка водки на время успокоила пья-

ницу. Он теперь лежал на постели с закрытыми глазами, опухший, налитый пьяным жиром, а над ним наклонилась Харитина, такая цветущая, молодая, строгая. Днем у нее глаза были серые, а ночью темнели, как у кошки; золотистые волосы обрамляли бледное лицо точно сиянием. Галактион стаял в изголовье кровати и невольно любовался ею, любовался не так, как прежде, а как мужчина, полный сил, который видит красивую женщину. Все эти дни он почти совсем не обращал на нее внимания и даже не замечал, хотя они и были по-родственному на «ты» и даже целовались, тоже по-родственному. В комнате горела одна сальная свечка, и при ее красноватом свете Харитина походила на русалку. Она не смотрела на Галактиона, но чувствовала на себе его пристальный взгляд и машинально поправила под шалью спустившийся рукав рубашки. Потом она смело посмотрела прямо в лицо Галактиону, посмотрела почти с ненавистью, плотно сжав губы. Потом он видел, как она медленно и спокойно подошла к нему, обняла его своими голыми руками и безмолвно прильнула к его лицу горевшими

губами.

— Харитина, опомнись!.. Харитина, что ты делаешь? — шептал он, напрасно стараясь освободиться из ее объятий. — Харитина!..

Белые руки распались сами собой, и она засмеялась нехорошим смехом.

— Не любишь? забыл? — шептала она, отступая. — Другую полюбил? А эта другая рохля и плакса. Разве тебе такую было нужно жену? Ах, Галактион Михеич! А вот я так не забыла, как ты на своей свадьбе смотрел на меня... ничего не забыла. Сокол посмотрел, и нет девушки... и не стыдно мне нисколько.

Она опять обняла его и целовала, вернее — душила своими поцелуями, лицо, шею, даже руки целовала. Галактион чувствовал только, как у него вся комната завертелась перед глазами, а эти золотые волосы щекотали ему лицо и шею.

— Милый, милый! — шептала она в исступлении, закрывая глаза. — Только один раз. Разве та, другая, умеет любить? А я-то тосковала по нем, я-то убивалась!

— Харитина!..

— Нет здесь никакой Харитины. Харитина

там, где ее любят.

Эта дикая сцена была прекращена появлением Вахрушки, который успел вернуться из Суслона со спиртом.

— Ты меня будешь помнить, — повторила несколько раз Харитина, давая отцу нюхать спирт. — Я не шутки с тобой шутила. О, как я тебя люблю, несчастный!

Когда Галактион проснулся на другой день, все случившееся ночью ему показалось тяжелым кошмаром. Он даже посомневался, было ли все это на самом деле. Харитина вышла к чаю, как всегда. На ней была та же шаль, что и ночью, и это кольнуло Галактиона. Она ему хотела показать, что ставит его ни во что. Припоминая подробности вчерашней сцены, Галактион отчетливо знал только одно, именно, что он растерялся, как мальчишка, и все время держал себя дураком. Нужно было сделать решительный шаг в ту или другую сторону, а теперь оставалось делать такой вид, что он все принял за глупую выходку и не придает ничему серьезного значения.

— Мы с папашей сегодня едем домой, — за-

явила Харитина усталым голосом.

— Видно, чем ушибся, тем и лечись. Кстати, нас проводит Илья Фирсыч. Ему тоже пора домой.

Полуянов даже стал на колени и принялся целовать руки капризной красавицы.

— О, богиня, я могу только повиноваться, как слабый смертный!

Симон, бывший свидетелем этой глупой сцены, бледнел и краснел, до крови кусая губы. Бедный мальчуган страстно ревновал запольскую красавицу даже, кажется, к ее шали, а когда на прощанье Харитина по-родственному поцеловала его, он не вытерпел и убежал.

— Что ты делаешь с мальчиком? — упрекнула ее Серафима, находившаяся в лениво-спокойном настроении беременной женщины.

— Я? Ничего, — резко ответила Харитина. — Кто меня полюбит, тот несчастный человек навек.

Галактион все время молчал и старался не смотреть на нее. Она поцеловалась с ним, опустив глаза.

— Желаю тебе быть паинькой, — пошутила над ним Харитина, усаживаясь в экипаж. — Пряничка дадут.

В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив, что ночью был дураком.

Часть II

Глава 13

Прошло пять лет.

Все Заполье переживало тревожное время. Кажется, в самом воздухе висела мысль, что жить по-старинному, как жили отцы и деды, нельзя. Доказательств этому было достаточно, и самых убедительных, потому что все они били запольских купцов прямо по карману. Достаточно было уже одного того, что благодаря новой мельнице старика Колобова в Суслоне открылся новый хлебный рынок, обещавший в недалеком будущем сделаться серьезным конкурентом Заполью. Это была первая повестка.

— Нет, брат, шабаш, — повторяли запольские купцы. — По-старому, брат, не проживешь. Сегодня у тебя пшеницу отнимут, завтра куделю и льняное семя, а там и до степно-

го сала доберутся. Что же у нас-то останется? Да, конечно. Надо все по-полированному делать, чтобы как в других прочих местах.

Запас сведений об этих других прочих местах оказался самым ограниченным, вернее сказать — запольские купцы ничего не знали, кроме своего родного Заполья. Молодые купцы были бы и рады устраиваться по-новому, да не умели, а старики артачились и не хотели ничего знать. Вообще разговоров и пересудов было достаточно, а какая-то невидимая беда надвигалась все ближе и ближе.

В собственном смысле событий за эти пять лет не случилось. Было три пожара, потом открыли новую городскую думу, причем старик Луковников был избран первым городским головой, потом Малыгины выдали младшую дочь Харитину раньше старшей и т. д. Харитина вышла замуж чуть не убегом, против воли родителей, и теперь была исправницей Полуяновой. Жена у Полуянова умерла через год после свадьбы Серафимы, а через год он с пьяных глаз женился на красавице Харитине, вернее сказать — она сама высватала его. Свадьба была сыграна еще скорее, чем у Серафи-

мы, потому что жених вдовец. Анфуса Гавриловна на коленях умоляла дочь не делать этого, но Харитина твердила одно:

— Мамаша, я хочу быть благородной. Очень мне интересно выходить замуж за какого-нибудь сиволапого купца! Насмотрелась я на своих сестриц, как они в темноте живут.

— Поглядим мы на твое пьяное да старое благородство!

— Исправницей буду, мамаша. Чаем губернатора буду угощать, а он у меня руку будет целовать. В благородных домах везде такой порядок. В карете буду ездить.

— Дура ты, Харитинка, и больше ничего.

— Не виновата, что такая родилась, мамаша.

В сущности Харитина вышла очертя голову за Полуянова только потому, что желала хотя этим путем досадить Галактиону. На, полюбуйся, как мне ничего не жаль! Из-за тебя гибну. Но Галактион, кажется, не почувствовал этой мести и даже не приехал на свадьбу, а послал вместо себя жену с братом Симоном. Харитина удовольствовалась тем, что заставила мужа выписать карету, и разъезжала в

ней по магазинам целые дни. Пусть все смотрят и завидуют, как молодая исправница катается.

Если запольские купцы не знали, что им нужно, то отлично это знали люди посторонние, которые все набивались в город. Кто они такие, откуда, чего домогаются — никто не знал. У Штоффа уже давно жил безыменный немец Драке, потом приехал и поселился Май-Стабровский. Он занял лучшую квартиру в городе, завел выездных лошадей, целый штат прислуги и зажил на широкую ногу. В Заполье и во сне не видали такой роскоши, и молодая исправница сгорала от зависти. Впрочем, она была принята у Стабровских, и сам старик ухаживал за ней с чисто польским джентльменством. Потом поселился подозрительный евреи Ечкин. Впрочем, он сам мало жил в Заполье, а все где-то разъезжал. Около этих новых людей жалась целая кучка безыменных и прожорливых панов, немцев и евреев. Они все чего-то искали, куда-то ездили по каким-то никому не известным делам и вообще ужасно торопились. Не было, кажется, такого угла, которого они не обнюхали бы

и не обыскали. Одним словом, что-то готовилось, и запольские купцы вперед чувствовали, как их забирает страх.

— А все это проклятый Полуштоф, — ругались они за спиной. — Все от него пошло. Дай лисе хвост просунуть, она и вся залезет. А у немцев так уж заведено: у одного крючок, у другого петля — друг за дружкой и волокутся.

Доставалось на орехи и «полуштофову тестю», то есть Харитону Артемьичу. Он первый призрел голого немца, да еще дочь за него замуж выдал. Вот теперь все и расхлебывай. Да и другой зять, Галактион, тоже хорош: всем мельникам запер ход, да еще рынок увел к себе в Суслон.

Сами по себе новые люди были все очень милые, вежливые и веселые. Везде сами бывали, всех принимали у себя и умели товар лицом показать. На другой же год в Заполье открылся клуб, учреждение невиданное. Старики не пошли, а молодежь была рада. В Заполье до сих пор не было ни одного веселого приюта. По зимам проворные немцы начали устраивать в клубе семейные вечера с танцами, благотворительные «лотереи-аллегри», а

главное, напропалую дулись в карты. Это выходило гораздо удобнее, чем у себя дома. И хлопот никаких, и удовольствие получай, какое хочешь. Май-Стабровский и Ечкин повели настоящую большую игру, особенно когда приехал Шахма, этот степной крез, о котором составлялись настоящие легенды. Играл в большую Еграшка Огибенин, исправник Полуянов и даже аккуратный немец Штофф. Одним словом, зажили по-настоящему, как в других прочих местах, особенно когда появились два адвоката, Мышников и Черевинский, забившие сразу местных доморощенных ходатаев и дельцов. Впрочем, Мышников был свой запольский. Он происходил из разорившейся купеческой семьи и кончил курс в университете.

Этот прилив новых людей закончился нотариусом Меридиановым, тоже своим человеком, — он был сын запольского соборного протопопа, — и двумя следователями. Говорили уже о земстве, которое не сегодня-завтра должно было открыться. Все эти новые люди устраивались по-своему и не хотели знать старых порядков, когда всем заправлял один

исправник Полуянов да два ветхозаветных заседателя.

Больше всех суетился и хлопотал немец Штофф, как человек, достаточно освоившийся с положением местных дел. Он брал какие-то подряды, хлопотал об открытии местной женской прогимназии и реального училища, открыл какое-то таинственное «депо земледельческих усовершенствованных машин», и так далее, без конца. Время от времени он тоже исчезал из города и шнырял по уезду, выискивая какие-то новые дела. Впрочем, его деятельность скоро обнаружилась, когда Май-Стабровский купил в уезде упраздненный винокуренный казенный завод и назначил его своим главным управляющим. Были и свои винокуры, но это был народ все мелкий, работавший с грехом пополам для местного потребления, а Стабровский затевал громадное, миллионное дело и повел его сильною рукой. Все устраивалось по последнему слову винокуренной науки. От Заполья до нового завода было верст сто, и туда отхлынула вся польская челядь, окружавшая Стабровского. Запольские купцы только смотре-

ли и ожигались. Их «старинка» оставалась позади, а вперед лезли новые люди, удивлявшие своею пробойностью и прожорливостью. По старинке считали на тысячи и много-много на десятки тысяч, а тут сразу счет пошел на сотни тысяч.

— Что же это будет? — удивлялись недавние запольские богачи. — Что же нам-то останется? Все немцы забирают.

Винокуренный завод Стабровского находился всего в двадцати верстах от Суслона, и это сразу придало совершенно другое значение новому хлебному рынку. Для этого завода ежегодно имелось в виду скупать до миллиона пудов ржи, а это что-нибудь значило. Старик Колобов только ахнул, когда услышал про новую затею.

— Съест нас всех Стабровский, — говорил он, качая головой. — Мы тут мышей ловим, а он прямо на медведя пошел.

Новая крупчатая мельница действительно являлась ничтожеством по сравнению с грандиозным заводом. Было тут о чем подумать. Хлопотавший по постройке завода Штофф раза два завертывал в Прорыв и ночевал.

— Ты это что же затеваешь-то? — ворчал Михей Зотыч. — Мы тут вот мучку мелем, а ты хлеб собираешься изводить на проклятое зелье.

— Ничего, ничего, старичок. Всем хлеба хватит... Мы ведь себе только рожь берем, а вам всю пшеницу оставляем. Друг другу не будем мешать, старичок.

— Да я не о том, немецкая душа: дело-то ваше неправильное... да. Божий дар будете переводить да черта тешить. Мы-то с молитвой, а вам наплевать... тьфу!..

— Да ведь народу же деньги-то пойдут, старичок? Ах, какой ты!.. Теперь хлеб напрасно пропадает, а тогда на, получай наличными. Все будут довольны... Так-то!

— Богу вы все ответите за свои выдумки! — грозил Михей Зотыч. — Да и какой у вас бог? Ни бога, ни черта... Про совесть-то слыхал, Карл Карлыч?

— У нас сколько угодно совести, старичок.

— Так вы ее, совесть-то свою, в процент отдавайте... А я тебе скажу пряменько, немец: не о чем нам с тобой разговоры разговаривать... так, попусту, языком болтать...

Штофф только улыбнулся. Он никогда не оскорблялся и славился своим хладнокровием. Его еще никто не мог вывести из себя, хотя случаев для этого было достаточно. Михей Зотыч от всей души возненавидел этого увертливого немца и считал его главною причиной всех грядущих зол.

— Послушай, старичок, поговорим откровенно, — приставал Штофф. — Ты живой человек, и я живой человек; ты хочешь кусочек хлеба с маслом, и я тоже хочу... Так? И все другие хотят, да не знают, как его взять.

— Ну, заговаривай зубы, заговаривай, змей!

— А я понимаю одно: я имею свою пользу и должен дать пользу другим... Так?

— Уж ты дашь, что говорить... Даже вот как дашь... Не обрадуешься твоей-то пользе.

— Все зависит от того, как смотреть на вещи.

Хитрый немец проник даже к попу Макару. Едва ли он сам знал, зачем есть поп Макар, но и он тоже ест свой кусочек хлеба с маслом и может пригодиться. Поп Макар был очень недоверчивый человек и отнесся к

немцу почти враждебно.

— Во-первых, я живу здесь уже двадцать лет и никого не касаюсь, — объяснил он откровенно, — и во-вторых, я ничего не понимаю.

— Да ведь мне, батюшка, ничего от вас и не нужно, — объяснил Штофф, не сморгнув глазом. — Просто, счел долгом познакомиться с вами, так как будем жить в соседях.

— Оно, конечно, милостивый государь... Коль скоро человек отметает от себя всяческую суету, потолику он принадлежит самому себе, во-первых, а во-вторых...

— Послушайте, батюшка, вы ведете громадное хозяйство, у вас накопляется одной ржи до пяти тысяч пудов, я говорю примерно. Вам приходится хлопотать с ее продажей, а тут я приеду, и мы покончим без всяких хлопот. Это я говорю к примеру.

— Позвольте, во-первых, какая ваша будет цена, милостивый государь?

— На одну восьмую копейки с пуда больше, чем на рынке... Это... это составит за пять тысяч пудов ровно шесть рублей двадцать пять копеек. Кажется, я выражаюсь ясно?

Ведь деньги не валяются на дороге?

Штофф попал в самое больное место скуповатого деревенского батюшки. Он жил бездетным, вдвоем с женой, и всю любовь сосредоточил на скромном стяжании, — его интересовали не столько сами по себе деньги, а главным образом процесс их приобретения, как своего рода спорт.

Глава 14

Старшему сыну Серафимы было уже четыре года, его звали Сережей. За ним следовали еще две девочки-погодки, то есть родившиеся через год одна после другой. Старшую звали Милочкой, младшую Катей. Как Серафима ни любила мужа, но трехлетняя, почти без перерыва, беременность возмутила и ее.

— Я хочу и сама пожить, — заявила она с наивностью намучившегося человека. — Будет с нас детей.

— И я то же думаю, — соглашался Галактион.

Тот красивый подъем всех сил, который Серафима переживала сейчас после замужества, давно миновал, сменившись нормальным существованием. Первые радости мате-

ринства тоже прошли, и Серафима иногда испытывала приступы беспричинной скуки. Пять лет выжили в деревне. Довольно. Особенно сильно повлияла на Серафиму поездка в Заполье на свадьбу Харитины. В городе все жили и веселились, а в деревне только со скуки пропадай.

— Переедем в город, — все чаще и чаще повторяла Серафима мужу, — а то совсем деревенские мужики будем.

Эти слова каждый раз волновали Галактиона. Деревня тоже давно надоела ему, да и делать здесь было нечего, — и без него отец с Емельяном управятся. Собственно удерживало Галактиона последнее предприятие: он хотел открыть дорогу зауральской крупчатке туда, на Волгу, чтоб обеспечить сбыт надолго. Нужно было только предупредить других, чтобы снять сливки.

Дела по мельнице установились окончательно и шли прекрасно. В первую зиму свежую крупчатку возили в Ирбит, на ярмарку, на тройках. Ее брали нарасхват. Происходила конкуренция с дорогою казанскою крупчаткой. За эти четыре года мельница не только

окупилась, но и дала большой доход. Теперь пшеница заготовлялась вперед за год и покупалась на наличные деньги. Вообще дела шли отлично. Мысль открыть сбыт своей крупчатке в «Расею» очень понравилась Михею Зотычу, и он с большим удовольствием отпустил Галактиона съездить в Казань, Рыбинск, Саратов и Нижний, чтобы на месте познакомиться с делами. Галактион проездил все лето и вернулся уже по окончании Нижегородской ярмарки. Эта поездка имела для него решающее значение.

— Ну что, как там у них? — спрашивал Михей Зотыч.

— Ах, папаша, даже рассказывать стыдно, то есть за себя стыдно. Там настоящие дела делают, а мы только мух здесь ловим. Там уж вальцовые мельницы строят... Мы на гроши считаем, а там счет идет на миллионы.

— С большим-то счетом и запутаться можно, Галактион.

— В лес ходить — не бояться волков, а делать дело, так по-настоящему.

— Ну, с меня будет и этого, а когда я помру, как знаете.

Бойкая жизнь Поволжья просто ошеломила Галактиона. Вот это, называется, живут вовсю. Какими капиталами ворочают, какие дела делают!.. А здесь и развернуться нельзя: все гужом идет. Не ускачешь далеко. А там и чугунка и пароходы. Все во-время, на срок. Главное, не ест перевозка, — нет месячных распутиц, весенних и осенних, нет летнего ненастья и зимних вьюг, — везде скатертью дорога.

— А какие там люди, Сима, — рассказывал жене Галактион, — смелые да умные! Пальца в рот не клади... И все дело ведется в кредит. Капитал — это вздор. Только бы умный да надежный человек был, а денег сколько хочешь. Все дело в обороте. У нас здесь и капитал-то у кого есть, так и с ним некуда деться. Переваливай его с боку на бок, как дохлую лошадь. Все от оборота.

Серафима слушала мужа только из вежливости. В делах она по прежнему ничего не понимала. Да и муж как-то не умел с нею разговаривать. Вот, другое дело, приедет Карл Карлыч, тот все умеет понятно рассказать. Он вот и жене все наряды покупает и даже в шляпах

знает больше толку, чем любая настоящая дама. Сестра Евлампия никакой заботы не знает с мужем, даром, что немец, и щеголяет напропалую.

Заезжая на мельницу в Прорыв, хитрый немец никогда не забывал захватить и ребятишкам игрушек и невестке какой-нибудь пустяковый подарочек. Себя в убыток не введет и другим удовольствие доставит.

В последнюю зиму, когда строился у Стабровского завод, немец начал бывать у Колобовых совсем часто. Дело было зимой, и нужно было закупать хлеб на будущий год, а главный рынок устраивался в Суслоне.

— Это нам Михей Зотыч дорожку проторил, — похваливал немец хмурившегося старика, — мы на готовое-то, как на чужую кашу со своей ложкой приходим.

— Только не подавитесь, — ворчал Михей Зотыч. — Ложка-то у вас больно велика. Пожалуй, и каши не хватит.

— Всем, дедушка, хватит, которые ежели с умом.

Главный подвоз хлеба происходил в ноябре, когда устанавливался крепкий санный

путь. Штофф прожил целую неделю в Суслоне у писаря, изучая складывавшийся новый хлебный рынок. Галактион тоже приезжал делать закупки, и они вместе провели всю неделю. Приходилось вставать ранним утром, задолго до свету, часа в четыре. Широкая суслонская улица с обеих сторон была уставлена бесконечными возами. Скупщики ходили от воза к возу с фонарями, и рынок получал какой-то фантастический характер. Народное богатство лежало тут, на виду, прикрытое домашней работы пологами. Галактиона уже знали, и он ставил цену. Остальные только прикупали, как Ермилыч и небольшие мельники.

— По-деревенски живем, Карл Карлыч, — иронически говорил Галактион про самого себя. — Из-за хлеба на квас.

— Ну, а вы-то пожаловаться не можете.

— Да и радоваться нечему. Из маленького дела не выскочишь. Мне, собственно, и делать на мельнице больше нечего.

— А вы приезжайте к нам в Заполье. Может быть, и дельце найдем. Люди нужны, а их нет.

Немец чего-то не договаривал, а Галактион не желал выпытывать. Нужно, так и сам скажет. Впрочем, раз ночью они разговорились случайно совсем по душам. Обоим что-то не спалось. Ночевали они в писарском доме, и разговор происходил в темноте. Собственно, говорил больше немец, а Галактион только слушал.

— Видите ли, в чем дело, Галактион Михеич... Будемте рассуждать математически, так сказать. В природе ничто не должно пропадать, ни один атом. Так, да? Каждый человек представляет собой известную силу, а сила — только тогда сила, когда она находит свое приложение. Да? С одной стороны, вот мы с вами, как сила, ищущая своего приложения, а с другой — благодатный край, переполненный сырьем. Наше приложение в том, чтобы дать оборот этим богатствам. Не правда ли? Ум — самая страшная из всех сил. Вы вот умный человек и понимаете совершенно верно, что с мельницей у вас лет через пять будет все кончено. Значит, нужно пристроиться к другому делу.

— Я и сам это думаю, Карл Карлыч. Дав-

ненько думаю.

Немец сделал паузу. Где-то тяжело тикали старинные часы.

— У вас есть деньги? — спросил Штофф уже совершенно другим тоном, продолжая какую-то свою мысль.

— То есть как деньги?

— Ну, тысяч тридцать — сорок.

— Карл Карлыч, ведь вы знаете, что у меня своих и сорока копеек нет.

— Но у вас есть обычай выделять сыновей. Наконец, вы получили кое-что за женой.

— Женины деньги меня не касаются, а что касается выдела, едва ли отец согласится. Вы знаете, какой у него характер.

— А вы имейте свой характер. Требуйте свою часть.

— Он меня просто выгонит вон.

Немец подумал, что-то прикинул в уме и проговорил убежденно:

— И то для вас будет выгоднее, чем сидеть здесь и ждать у моря погоды. Поверьте мне. А я вас устрою.

— Вы теперь так говорите, а когда отец прогонит, вы можете заговорить другое.

— Поверьте, что нет, Галактион Михеич. Это мой прямой интерес, и я вам скажу сейчас, в чем дело. Да. Вот у вас мельница, и вы в зависимости от урожая, от рынка, от конкуренции, да? Я теперь управляющий Стабровского и завишу от него. Дело громадное и будет зависеть от тысячи случайностей, начиная с самой жестокой конкуренции, какая существует только в нашем водочном деле. Не правда ли? Возьмите всякое другое коммерческое дело — везде риск, везде опасность, везде сомнения. А есть такое дело, которое ничего не боится, скажу больше: ему все на пользу — и урожай и неурожай, и разорение и богатство, и даже конкуренция. Это моя заветная мечта.

Галактион сел на кровати и проговорил:

— Банк? Вы хотите, чтобы в числе учредителей стояло мое русское имя?

— Да. Прибавьте к этому, что русских имен мы найдем сколько угодно, а нам нужны работники, хорошие, энергичные работники. Признаюсь, я вас изучал в течение пяти лет и знаю вас больше, чем вы сами себя знаете. Извините за нескромное любопытство... У вас

есть размах, есть кровь, а это главное. Придется много работать и ставить все на карту. Потом у вас есть уменье иметь дело с людьми. Пример: скажу я — и мне не поверят, скажете вы то же самое — и вам поверят. Это величайший секрет науки, называемой психология. Мне скажут: «У! немец хитрит!» Я это в глазах читаю, и мне делается обидно, хотя я и хладнокровный человек. А вам поверят, все поверят, — о, как поверят!.. Да, у вас сейчас нет денег, но умрет отец, — будемте говорить откровенно, — у вас сто тысяч верных. Значит, вы сейчас стоите эти сто тысяч и можете иметь кредит.

— Банк будет в Заполье?

— Да... Коммерческий Зауральский банк. Главные учредители: Стабровский, Ечкин, Шахма, Драке и я. Видите, все иностранцы, то есть не русские фамилии, а это неудобно. Нам необходимо привлечь Луковникова, Огибенина и еще человека три-четыре. У нас устав уже написан, и Ечкин выхлопочет его утверждение. О, этот человек может сделать решительно все на свете!.. Знаете, говоря между нами, я считаю его гениальным человеком.

Да. Представьте себе, у него решительно ничего нет, а он всегда имеет такой вид, точно у него в бумажнике чек на пятьсот тысяч. Стабровский умен и тоже гениальный человек, но до Ечкина ему далеко, как до звезды небесной... И Стабровский это сам знает.

— Что же я буду делать в Заполье, пока ваш банк не откроется?

— Э, дела найдем!.. Во-первых, мы можем предоставить вам некоторые подряды, а потом... Вы знаете, что дом Харитона Артемьича на жену, — ну, она передаст его вам: вот ценз. Вы на соответствующую сумму выдадите Анфусе Гавриловне векселей и дом... Кроме того, у вас уже сейчас в коммерческом мире есть свое имя, как дельного человека, а это большой ход. Вас знают и в Заполье и в трех уездах... О, известность — тоже капитал!

Галактион так и не мог заснуть всю ночь. У него горела голова, и мысли в голове толклись, как в жаркий летний день толкутся комары над болотом. Хитрый немец умело и ловко затронул его самое больное место, именно то, о чем он мечтал только про себя. Правда, предстояло сделать решительный

шаг; но все равно его нужно было когда-нибудь сделать. От этого зависело все. Одно только нагоняло на Галактиона сомнение: он не доверял хитрому немцу. Продаст и надует при случае за какой-нибудь «кусочек хлеба с маслом». От таких людей нужно ожидать всего.

Галактиону делалось обидно, что ему не с кем даже посоветоваться. Жена ничего не понимает, отец будет против, Емельян согласится со всем, Симон молод, — делай, как знаешь.

Перед отъездом из Суслона Штофф имел более подробный разговор с Галактионом и откровенно высказался:

— Я знаю, что вы не доверяете мне... Это отлично. Никому не нужно верить, даже самому себе, потому что каждый человек может ошибаться. Да. А можно верить только одному — делу. Вы только подумайте: вот сейчас мы все хлопочем, бьемся, бегаем за производителем и потребителем, угождаем какому-нибудь хозяину, вообще зависим направо и налево, а тогда другие будут от нас зависеть. У нас всегда будет урожай на нашей ниве... Расчет самый простой: по вкладам мы бу-

дем платить семь процентов, а по ссудам будем получать до двадцати. Капитал будет... Вы только сообразите, сколько пропадает теперь мертвого капитала у попов, писарей, купцов, а из этих мелочей составится страшная сила, как из мелких речонок наливается море.

Глава 15

Решительный разговор с отцом Галактион думал повести не раньше, как предварительно съездив в Заполье и устроив там все. Но вышло совершенно наоборот.

После отъезда Штоффа Галактион целых три недели ходил точно в тумане. И сон плохой и аппетита нет. Даже Серафима заметила, что с мужем творится что-то неладное.

— Тебе нездоровится, Глаша?

— Мне? Нет, ничего.

Такой ответ совершенно удовлетворял простоватую Серафиму, и это возмущало Галактиона. Другая жена допыталась бы, в чем дело, и не успокоилась бы, пока не вызнала бы всего. Теперь во время бессонницы Галактион по ночам уходил на мельницу и бродил там из одного этажа в другой, как тень. Мель-

ница работала зимой полным ходом. Рабочих было очень немного. Они, засыпанные мучным бусом, походили на каких-то мертвецов, бродивших бесшумно из одного отделения в другое. Обыкновенно по ночам обходил мельницу Емельян, как холостой человек, или сам Михей Зотыч. Рабочие удивлялись, встречая теперь Галактиона. Раз ночью у жернова Галактион встретил отца. Старик как-то по-заячьи прислушивался к грузному движению верхнего камня, припадавшего одним краем.

— А, это ты! — удивился старик. — Вот и отлично. Жернов у нас что-то того, припадает краем.

— Нужно поставить запасный.

— Остановка выйдет.

— Ничего не поделаешь.

Они вместе прошли по всем отделениям. Везде все было в порядке.

— Если бы еще пять поставов прибавить, так работы хватило бы, — задумчиво говорил Галактион, когда они очутились в мельничной конторке, занесенной бусом, точно инеем.

— Воды не хватит.

— Можно паровую машину поставить, родитель.

— Ни за что! Спалить хочешь все обзаведение?

Мельница давно уже не справлялась с работой, и Галактион несколько раз поднимал вопрос о паровой машине, но старик и слышать ничего не хотел, ссылаясь на страх пожара. Конечно, это была только одна отговорка, что Галактион понимал отлично.

— Вот ты про машину толкуешь, а лучше поставить другую мельницу, — заговорил Михей Зотыч, не глядя на сына, точно говорил так, между прочим.

Галактион отлично понял его. Значит, отец хочет запрячь его в новую работу и посадить опять в деревню года на три. На готовом деле он рассчитывал управиться с Емельяном и Симоном. Это было слишком очевидно.

— Нет, я не согласен, — спокойно ответил Галактион.

— Как не согласен? Что не согласен? Да как ты смеешь разговаривать так с отцом, щенок?

— Вторую мельницу строить не буду, —

твердо ответил Галактион. — Будет с вас и одной. Да и дело не стоящее. Вон запольские купцы три мельницы-крупчатки строят, потом Шахма затевает, — будете не зерно молоть, а друг друга есть. Верно говорю... Лет пять еще поработаешь, а потом хоть замок весь на свою крупчатку. Вот сам увидишь.

— Да ты понимаешь, что говоришь-то?

— Да очень понимаю... Делать мне нечего здесь, вот и весь разговор. Осталось только что в Расею крупчатку отправлять... И это я устроил.

— Ну, а потом?

— А потом вы сами по себе, а я сам по себе.

— Как же это так будет, напримерно?

— Да уж так, как случится. Дадите мне что в отдел — спасибо, не дадите — тоже спасибо.

— Так, так, миленький... Своим умом хочешь жить.

Старик пожевал губами, посмотрел на сына прищуренными глазами и совершенно спокойно проговорил:

— Ничего ты от меня, миленький, не получишь... Ни одного грошика, как есть. Вот, что на себе имеешь, то и твое.

— Покорно благодарю, родитель.

Больше отец и сын не проговорили ни одного слова. Для обоих было все ясно, как день. Галактион, впрочем, этого ожидал и вперед приготовился ко всему. Он настолько владел собой, что просмотрел с отцом все книги, отсчитался по разным статьям и дал несколько советов относительно мельницы.

— Завтра, то есть сегодня, я уеду, — прибавил он в заключение. — Если что вам понадобится, так напишите. Жена пока у вас поживет... ну, с неделю.

— А кто же ее кормить будет?

— Я пришлю денег из Суслона на прокорм, а за квартиру потом рассчитаюсь.

— За пять лет, миленький. Не забудь... По три целковых в месяц — сто восемьдесят рубликов.

— И это заплачу. Сейчас у меня ничего нет, а вышлю, как пришлю подводу за семьей.

Когда Галактион вышел, Михей Зотыч вздохнул и улыбнулся. Вот это так сын... Правильно пословица говорится: один сын — не сын, два сына — полсына, а три сына — сын. Так оно и выходит, как по-писаному. Да, хо-

рош Галактион. Другого такого-то и не сыщешь.

«А денег я тебе все-таки не дам, — думал старик. — Сам наживай — не маленький!.. Помру, вам же все достанется. Ох, миленькие, с собой ничего не возьму!»

Вернувшись домой, Галактион почувствовал себя чужим в стенах, которые сам строил. О себе и о жене он не беспокоился, а вот что будет с детишками? У него даже сердце защемило при мысли о детях. Он больше других любил первую дочь Милочку, а старший сын был баловнем матери и дедушки. Младшая Катя росла как-то сама по себе, и никто не обращал на нее внимания.

— Ну, Серафима, собирайся в дорогу, — коротко объяснил Галактион жене.

— Через неделю я за тобой пришлю. Переезжаем в Заполье.

— Совсем?

— Совсем.

Серафима даже заплакала от радости и бросилась к мужу на шею. Ее заветною мечтой было переехать в Заполье, и эта мечта осуществилась. Она даже не спросила, поче-

му они переезжают, как все здесь останется, — только бы уехать из деревни. Городская жизнь рисовалась ей в самых радужных красках.

Только на прощанье с отцом Галактион не выдержал. Он достал бумажник и все, что в нем было, передал отцу, а затем всю мелочь из кошелька. Михей Зотыч не поморщился и все взял, даже пересчитал все до копеечки.

— Денежка счет любит, — бормотал старик.

У жены Галактион тоже не взял ни копейки, а заехал в Суслон к писарю и у него занял десять рублей. С этими деньгами он отправился начинать новую жизнь. На отца Галактион не сердился, потому что этого нужно было ожидать.

Анфуса Гавриловна обрадовалась и испугалась, когда увидала зятя. Она совсем не ждала гостя.

— Надолго ли, Галактион? — спрашивала расхлопотавшаяся старушка.

— А совсем, мамаша.

— Как совсем?

Галактион любил тещу, как родную мать,

и рассказал ей все. Анфуса Гавриловна расплакалась, а потом обрадовалась, что зять будет жить вместе с ними. Главное — внучата будут тут же.

— Поживите пока с нами, а там видно будет, — говорила она, успокоившись после первых излияний. — Слава богу, свет не клином сошелся. Не пропадешь и без отцовских капиталов. Ох, через золото много напрасных слез льется! Тоже видывали достаточно всячины!

Харитона Артемьевича не было дома, — он уехал куда-то по делам в степь. Агния уже третий день гостила у Харитины. К вечеру она вернулась, и Галактион удивился, как она постарела за каких-нибудь два года. После выхода замуж Харитины у нее не осталось никакой надежды, — в Заполье редко старшие сестры выходили замуж после младших. Такой уж установился обычай. Агния, кажется, примирилась с своею участью христовой невесты и мало обращала на себя внимания. Не для кого было рядиться.

— Ну, а что зелье-то наше? — сурово спросила ее Анфуса Гавриловна, — она все больше

и больше не любила Харитину.

— Ничего... Два новых платья заказала да соболий воротник велела переделать.

— Наказал меня господь дочкой, — жаловалась Анфуса Гавриловна зятю. — Полуштофова жена модница, а эта всех превзошла. Ох, плохо дело, Галактион!.. Не кончит она добром.

Вечером, когда уже подали самовар, неожиданно приехала Харитина. Она вошла, не раздеваясь, прямо в столовую, чтобы показать матери новый воротник. Галактион давно уже не видал ее и теперь был поражен. Харитина сделалась еще красивее, а в лице ее появилось такое уверенное, почти нахальное выражение.

— А, деревенская родня приехала! — здоровалась Харитина с гостем, по своему обыкновению глядя прямо ему в лицо. — Надолго ли?

— Не знаю, как поживется.

— Оставайся на святки. Будем веселиться напропалую.

— Это у тебя веселье только на уме, — оговорила мать. — У других на уме дело, а у тебя пустяки.

— Что же, мамаша, не всем умным быть.

— Да ты сядь, не таранти. Ох, не люблю я вот таких-то верченых! Точно сорока на колу.

— Что же, я и разденусь. Хотела только показать вам, мамаша, новый воротник. Триста рублей всего стоит.

Харитину задело за живое то равнодушие, с каким отнесся к ней Галактион. Она уже привыкла, чтобы все ухаживали за ней. Снимая шубку, она попросила его помочь.

— Не умеешь помочь раздеться, увалень! — пошутила она. — Привык с деревенскими бабами обращаться!

На Галактиона так и пахнуло душистою волной, когда он подошел к Харитине. Она была в шерстяном синем платье, красиво облегавшем ее точеную фигуру. Она нарочно подняла руки, делая вид, что поправляет волосы, и все время не спускала с Галактиона своих дерзких улыбавшихся глаз.

— Что, хороша? — сказала она и засмеялась.

— Перестань ты, бесстыдница! — заворчала Анфуса Гавриловна. — Хоть и зять, а все-таки мужчина. Что руки-то задираешь, срамни-

ца?

— Я в корсете, мамаша.

Галактион опустил глаза, чувствуя, как начинает краснеть. Ему как-то вся кровь бросилась в голову. Агния смотрела на него добрыми глазами и печально улыбалась. Она достаточно насмотрелась на все штуки сестрицы Харитины.

— Ну, а что твоя деревенская баба? — спрашивала Харитина, подсаживаясь к Галактиону с чашкой чая. — Толстеет? Каждый год рожает ребят?.. Ха-ха! Делать вам там нечего, вот и плодите ребятишек. Мамаша, какой милый этот следователь Куковин!.. Он так смешно ухаживает за мной.

— Да будет тебе! — сердито крикнула Анфуса Гавриловна. — Не пристало нам твои-то гадости слушать... Постыдилась бы хоть Галактиона.

— Что мне его стыдиться, мамаша? Дело прошлое: я была в него сама влюблена. Даже отравиться хотела. И он...

— Будет! Перестань, срамница!

Анфуса Гавриловна была рада, когда Харитина начала собираться. Ей нужно было еще

заехать к портнихе, в два магазина, потом к сестре Евлампии, потом еще в два места. Когда Галактион надевал ей шубку, Харитина успела ему шепнуть:

— А помнишь, дурачок, как я тебя целовала? Я тебя все еще немножко люблю... Приезжай ко мне с визитом. Поговорим.

Никогда еще Галактион не был так несчастлив, как в эту первую ночь в Заполье. Ему было как-то особенно больно и обидно. Что будет? Как он будет жить? А тут еще Харитина! Эта встреча была последнею каплей в чаше испытаний. Разве она такая была? Да, она сейчас красивее, в полном расцвете молодости, а ему было больно на нее смотреть. Какое у нее сделалось нахальное лицо, как она смотрит, какие движения, какие слова! И не стыдно... Галактион с каким-то ужасом думал об этой погибшей душе, припоминая свое минутное увлечение. Да, она тогда была другая, — такая чистая, нетронутая, красивая именно этою своею чистотою. А теперь кто ее окружает? Какие разговоры она слышит? Что ее интересует? Если б она гнала, что у него сейчас на душе и как ему больно за нее! О ее

выходке тогда на мельнице, у кровати больного отца, он как-то даже забыл и не придавал этому особенного значения. Так, молодая глупость. Кровь молодая расходилась. А теперь уже совсем другое...

Галактион лежал и думал о Харитине, думал и сердился, что думает именно о ней, а не о своих детях.

Глава 16

Отправляясь в первый раз с визитом к своему другу Штоффу, Галактион испытывал тяжелое чувство. Ему еще не случалось фигурировать в роли просителя, и он испытывал большое смущение. А вдруг Штофф сделает вид, что не помнит своих разговоров на мельнице? Все может быть.

Штофф был дома и принял гостя с распростертыми объятиями. Он по-русски расцеловался с Галактионом из щеки в щеку.

— Слышал, слышал, голубчик, — повторил он. — Этим и должно было кончиться... Чем скорее, тем лучше.

— Откуда вы узнали, Карл Карлыч? — удивился Галактион.

— А сорока на хвосте принесла... Право, от-

лично. Одобряю.

Штофф занимал очень скромную квартирку. Теперь небольшой деревянный домик принадлежал уже ему, потому что был нужен для ценза по городским выборам. Откуда взял немец денег на покупку дома и вообще откуда добывал средства — было покрыто мраком неизвестности. Галактион сразу почувствовал себя легче в этих уютных маленьких комнатах, — у него гора свалилась с плеч.

— Будем устраиваться... да... — повторял Штофф, расхаживая по комнате и потирая руки. — Я уже кое-что подготовил на всякий случай. Ведь вы знаете Луковникова? О, это большая сила!.. Он знает вас. Да... Ничего, помаленьку устроимся. Знаете, нужно жить, как кошка: откуда ее ни бросьте, она всегда на все четыре ноги встанет.

Было часов одиннадцать, и Евлампия Харитоновна еще спала, чему Галактион был рад. Он не любил эту модницу больше всех сестер. Такая противная бабенка, и ее мог выносить только один Штофф.

— Одного у нас нет, — проговорил хозяин, заметив, как гость оглядывает обстановку. —

Недостает деточек... А я так люблю детей. Да... Вот у вас целых трое.

— Заботы много с детьми.

— А для чего же тогда жить?

Взглянув на часы, Штофф прибавил совсем другим тоном:

— Скоро двенадцать. Поедемте в думу. Там сразу со всеми перезнакомитесь.

— Да я, кажется, и без того всех знаю.

— Нет, то другое... Мало ли кого можно встретить на свадьбе, — это в счет у нас нейдет.

У Штоффа была уже своя выездная лошадь, на которой они и отправились в думу. Галактион опять начал испытывать смущение. С чего он-то едет в думу? Там все свои соберутся, а он для всех чужой. Оставалось положиться на опытность Штоффа. Новая дума помещалась рядом с полицией. Это было новое двухэтажное здание, еще не оштукатуренное. У подъезда стояло несколько хозяйских экипажей.

— Здесь вы всех найдете, — объяснял Штофф, здороваясь с представительным швейцаром. — Тарас Семеныч здесь?

— Точно так-с, — вытянувшись по-солдатски, ответил швейцар.

Поднявшись по лестнице во второй этаж, они прошли куда-то направо, откуда доносился гул споривших голосов. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посредине, походила на железнодорожный буфет. На столе кипело два самовара, стояла чайная посуда, а кругом стола разместились представители местного самоуправления.

— Господа, я привел к вам дорогого гостя! — громко отрекомендовал Штофф своего спутника. — Прошу любить и жаловать!

Подхватив Галактиона под руку, Штофф повел его вокруг стола, рекомендуя всем:

— Тараса Семеныча вы знаете? А это два купца Ивановых... три купца Поповых... старший городской врач Кацман, а это его помощник, доктор медицины Кочетов... член управы Голяшкин.

— Ба, ба! — крикнул знакомый голос.

Это был Полуянов. Он обнял Галактиона и расцеловал.

— Слышал, батенька... как же! Вчера жена

что-то такое рассказывала про тебя и еще жаловалась, что шубы не умеешь дамам подавать. Ничего, выучим... У нас, батенька, все попросту. Живем одною семьей.

Член управы Голяшкин, рослый и краснощекий детина, все время смотрел на Галактиона какими-то маслеными глазами и сладко улыбался. Он ужасно походил на вербного херувима, хотя и простой работы. Выждав, когда все перездоровались, Голяшкин подошел к Галактиону, крепко пожал ему руку и каким-то сладким голосом проговорил:

— Очень, очень рады, Галактион Михеич. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей.

Херувим страдал манией повторять чужие слова, точно эхо. Проделав свою партию, он подсел к столу и широко вздохнул. Рядом с ним сидел доктор Кочетов, красивый черноволосый мужчина лет тридцати. Молодое лицо доктора носило явные следы усиленного пьянства — кожа на лице была красная, потная, глаза опухли и слезились, нос просвечивал синими жилками. Галактион почему-то обратил особенное внимание на эту типичную пару. Впрочем, и вся остальная компания

не напоминала праведников, за исключением Луковникова, резко выделявшегося своею степенностью и благообразною старостью.

— Ну, что родитель, каково прыгает? — спросил он Галактиона, улыбаясь одними глазами. — Завязали вы нам узелок с вашей мельницей... да.

— Так уж вышло, Тарас Семеныч, — оправдывался Галактион смущаясь. — Обижать никого не хотели.

— Что же, дело житейское, — проговорил старик и вздохнул. — К тестю в гости приехал, Галактион Михеич?

— Да... Может быть, вам говорил что-нибудь Карл Карлыч?

— Ах, да, да!.. Ндравный старик. Ничего, как-нибудь устроимся. Заходи ко мне, — потолкуем.

Солидный старик очень понравился Галактиону. Не то, что тятенька Михей Зотыч. Мысль об отце у Галактиона являлась теперь в какой-то обидной форме. Ему казалось, что Тарас Семеныч смотрит на него с сожалением.

Чай продолжался довольно долго, и Галак-

тион заметил, что в его стакане все больше и больше прибавляется рому. Набравшаяся здесь публика произвела на него хорошее впечатление своей простотой и откровенностью. Рядом с Галактионом оказался какой-то ласковый седенький старичок, с утиным носом, прилизанными волосами на височках и жалобно моргавшими выцветшими глазками. Он все заглядывал ему в лицо и повторял:

— Очень мы рады... Да, рады.

— Господа, что мы тут напрасно время теряем? — провозгласил захмелевший Полуянов. — Едем!

Все разом поднялись, как по команде, и, не прощаясь друг с другом, повалили к двери. Галактион догнал Штоффа уже на лестнице и начал прощаться.

— Ну, это дудки! — заявил немец. — У нас так не играют!.. Едем!

— Куда?

— А вот увидите.

От думы они поехали на Соборную площадь, а потом на главную Московскую улицу. Летом здесь стояла непролазная грязь, как и на главных улицах, не говоря уже о предме-

стьях, как Теребиловка, Дрекольная, Ерзовка и Сибирка. Миновали зеленый кафедральный собор, старый гостиный двор и остановились у какого-то двухэтажного каменного дома. Хозяином оказался Голяшкин. Он каждого гостя встречал внизу, подхватывал под руку, поднимал наверх и передавал с рук на руки жене, испитой болезненной женщине с испуганным лицом.

— Милости просим, господа! — повторял хозяин. — У нас все попросту!.. Пожалуйте!

Галактиона удивило, что вся компания, пившая чай в думе, была уже здесь — и двое Ивановых, и трое Поповых, и Полуянов, и старичок с утиным носом, и доктор Кочетов. Галактион подумал, что здесь именины, но оказалось, что никаких именин нет. Просто так, приехали — и делу конец. В большой столовой во всю стену был поставлен громадный стол, а на нем десятки бутылок и десятки тарелок с закусками, — у хозяина был собственный ренсковый погреб и бакалейная торговля.

— Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента, — повторял Полуянов, расха-

живая по комнате с видом человека, вернувшегося домой. — Галактион, выпьем.

— Да я не пью, Илья Фирсыч... Так разве, одну рюмочку.

— Э-э! у нас между первою и второю рюмкой не дышат... У нас попросту.

Выпитые две рюмки водки с непривычки сильно подействовали на Галактиона. Он както вдруг почувствовал себя и тепло и легко, точно он всегда жил в Заполье и попал в родную семью. Все пили и ели, как в трактире, не обращая на хозяина никакого внимания. Ласковый старичок опять был около Галактиона и опять заглядывал ему в лицо своими выцветшими глазами.

— А я ведь знавал Михея-то Зотыча, — говорил он, подвигая стул ближе к Галактиону. — Еще там, на заводах... Как же! У него три сына было, три молодца.

Дальше события немножко перепутались. Галактион помнил только, что поднимался опять куда-то во второй этаж вместе с Полуяновым и что шубы с них снимала красивая горничная, которую Полуянов пребольно щипнул. Потом их встретила красивая бело-

курая дама в сером шелковом платье. Кругом были все те же люди, что и в думе, и Голяшкин обнимал при всех белокурую даму и говорил:

— А вот эта сестрица Пашенька. У нас все попросту. Давайте, Пашенька, поцелуемтесь.

Брат и сестра громко расцеловались. Потом Пашенька очутилась около Галактиона и ласково говорила:

— А вы забыли, как я на вашей свадьбе была? Как же, мы тогда еще с Харитиной русскую отплясывали. Какие мы тогда глупые были: ничего-то, ничего не понимали. Совсем девчонки.

Кругом все пили, хлопая рюмку за рюмкой. Вместе с другими пил и Галактион, то есть заставляла его пить Пашенька. Он видел ее белые, точно налитые молоком руки, и эти руки подавали ему одну рюмку за другой. Пашенька смеялась и садилась так близко к гостю, что своим плечом касалась его. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Галактиона, ему вдруг захотелось веселиться и называть хозяйку тоже Пашенькой, как Голяшкин, но в самый интересный момент

опять появился старичок с утиным носом и помешал. Галактион рассердился и чуть не наговорил дерзостей. Пашенька во-время отвела его в сторону и прошептала на самое ухо с милой интимностью:

— Будьте осторожны... Это наш миллионер Нагибин. У него единственная дочь невеста, и он выискивает ей женихов. Вероятно, он не знает, что вы женаты. Постойте, я ему скажу.

Она действительно что-то поговорила старичку, и тот моментально исчез, точно в воду канул. Потом Галактион поймал маленькую теплую руку Пашеньки и крепко пожал ее. У Пашеньки даже слезы выступили на глазах от боли, но она стерпела и продолжала улыбаться.

— У нас попросту... да... — проговорил Голяшкин над самым ухом Галактиона и захохотал. — Пашенька, поцелуемся.

Пашенька вскочила и убежала.

Потом Галактион что-то говорил с доктором, а тот его привел куда-то в дальнюю комнату, в которой лежал на диване опухший человек средних лет. Он обрадовался гостям и попросил рюмочку водки.

— Это муж Прасковьи Ивановны, — рекомендовал доктор, считая пульс у больного. — Вот что делает водочка, а какой был богатырь!

— Рюмочку, — мычал больной.

В этот момент в комнату ворвалась Пашенька, и больной закрыл голову подушкой. Она обругала доктора и увела Галактиона за руку.

Дальше, кажется, был обед. Пашенька опять сидела рядом с Галактионом и угощала его виноградом, выбирая самые крупные ягоды своими розовыми пальчиками.

Глава 17

Странное было пробуждение Галактиона. Он с трудом открыл глаза. Голова была точно налита свинцом. Он с удивлением посмотрел кругом. Комната совершенно незнакомая, слабо освещенная одною свечой под зеленым абажуром. Он лежал на широком кожаном диване. Над его головой на стене было развешано всевозможное оружие.

— Где я? — вслух подумал Галактион, не узнавая собственного голоса.

Он напрасно старался припомнить после-

довательный ход событий, — они обрывались Пашенькой, а что было дальше, он не помнит, как не помнит, как попал в эту комнату. Э, все равно!.. Галактион хотел опять заснуть, но почувствовал, что ему что-то мешает. Это была не головная боль, а что-то внешнее, что-то такое, что было вот в этой комнате. Он приподнялся на локоть и стал внимательно осматривать комнату. Вдруг он вздрогнул — у дальнего конца письменного стола, совсем в тени, в глубоком кресле сидела неподвижная женская фигура. Ему сделалось страшно. Лица ее нельзя было рассмотреть, но он узнал ее, потому что чувствовал, как она пристально смотрит на него.

— Харитина, это ты?

Она молчала.

— Харитина!

Фигура поднялась, с трудом перешла комнату и села к нему на диван, так, чтобы свет не падал на лицо. Он заметил, что лицо было заплакано и глаза опущены. Она взяла его за руку и опять точно застыла.

— Харитина, я был пьян, как скотина... в первый раз в жизни. Я себя презираю... и ты...

и все...

— Что же тут особенного? — с раздражением ответила она. — Здесь все пьют. Сколько раз меня пьяную привозили домой. И тоже ничего не помнила. И мне это нравится. Понимаешь: вдруг ничего нет, никого, и даже самой себя. Я люблю кутить.

— Перестань говорить глупости! Ты прикидываешься такой, а сама совсем не такая.

— А какая я?

Она подвинулась совсем близко к его лицу и, заглядывая в глаза, с нетерпением спрашивала:

— Ну, говори... говори, какая я?

— Ты?

Галактион с трудом перекатил голову на подушке, закрыл глаза и ответил шепотом:

— Хорошая... вся хорошая.

Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Он видел только, как вздрагивала эта высокая лебединая грудь, видел эти удивительные руки, чудные русалочьи волосы и чувствовал, что с ним делается что-то такое большое, грешное, бесповоротное и чудное. О, только один миг счастья, тень счастья! Он

уже протянул к ней руки, чтоб схватить это гибкое и упругое молодое тело, как она испуганно отскочила от него.

— Галактион, не нужно!.. Галактион, оставь!.. Этого не нужно, не нужно, не нужно!

— Ну, иди, глупая, сюда... Не бойся, не трону.

— Я сейчас...

Она своею грациозною, легкою походкой вышла и через минуту вернулась с мокрым полотенцем, бутылкой сельтерской воды и склянкой нашатырного спирта. Когда он с жадностью выпил воду, она велела ему опять лечь, положила мокрое полотенце на голову и дала понюхать спирта. Он сразу отрезвел и безмолвно смотрел на нее. Она так хорошо и любовно ухаживала за ним, как сестра, и все выходило у нее так красиво, каждое движение.

— Не смотри на меня так, Галактион... Не хорошо.

— Не буду.

Он закрыл глаза и слышал, как она села опять к нему. Он чувствовал близость этого молодого, цветущего тела, точно окруженно-

го благоухающим облаком, слышал, как она порывисто дышала, и не мог только разобрать, чье это сердце так сильно бьется — его или ее. Это был его ангел-хранитель.

— Харитина, помнишь мою свадьбу? — заговорил он, не открывая глаз, — ему страстно хотелось исповедаться. — Тогда в моленной... У меня голова закружилась... и потом весь вечер я видел только тебя. Это грешно... я мучился... да. А потом все прошло... я привык к жене... дети пошли... Помнишь, как ты меня целовала тогда на мельнице?

Она сделала нетерпеливое движение.

— Подожди, — говорил он. — Я знаю, что это пустяки... Тебе просто нужно было кого-нибудь любить, а тут я подвернулся...

— Скажи одно: ты думал когда-нибудь обо мне?

— О, часто!.. Было совестно, а все-таки думал. Где-то она? что-то она делает? что думает? Поэтому и на свадьбу к тебе не приехал... Зачем растравлять и тебя и себя? А вчера... ах, как мне было вчера тяжело! Разве такая была Харитина! Ты нарочно травила меня, — я знаю, что ты не такая. И мне так было жаль

тебя и себя вместе, — я как-то всегда вместе думаю о нас обоих.

— А жена?

Он опять сделал движение, она опять отскочила.

— Я уйду совсем, если ты не будешь лежать смирно... Вытяни руку вот так. Ну, будь теперь паинькой.

Она опять села около него и заговорила, быстро роняя слова, точно боялась, что не успеет высказать всего.

— Тогда я была девчонкой и не знала, что такое значит любить... да. А теперь я... я тебя не люблю...

Он схватил ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась и только смотрела на него своими темными большими глазами. Галактион почувствовал, что это молодое тело не отвечает на его безумный порыв ни одним движением, и его руки распустились сами собой.

— Не люблю... не люблю, — повторяла она и даже засмеялась, как русалка. — Ты сильнее меня, а я все-таки не люблю... Милый, не обижайся: нельзя насильно полюбить. Ах, Галактион, Галактион!.. Ничего ты не понимаешь!..

Вот ты меня готов был задушить, а не спросишь, как я живу, хорошо ли мне? Если бы ты действительно любил, так первым бы делом спросил, приласкал, утешил, разговорил... Тошно мне, Галактион... вот и сейчас тошно.

Галактион слушал эту странную исповедь и сознавал, что Харитина права. Да, он отнесся к ней по-звериному и, как настоящий зверь, схватил ее давеча. Ему сделалось ужасно совестно. Женатый человек, у самого две дочери на руках, и вдруг кто-нибудь будет так-то по-звериному хватать его Милочку... У Галактиона даже пошла дрожь по спине при одной мысли о такой возможности. А чем же Харитина хуже других? Дома не у чего было жить, вот и выскочила замуж за первого встречного. Всегда так бывает.

— Харитина, у тебя есть муж... — вдруг проговорил Галактион.

— Муж? — повторила она и горько засмеялась. — Я его по неделям не вижу... Вот и сейчас закатился в клуб и проиграет там до пяти часов утра, а завтра в уезд отправится. Только и видела... Сидишь-сидишь одна, и одурь возьмет. Тоже живой человек... Если б еще де-

ти были... Ну, да что об этом говорить!.. Не стоит!

Потом она прибавила совсем другим тоном:

— Ступай умойся да приходи в столовую чай пить.

От этих разговоров и холодной воды Галактион совсем отрезвился. Ему теперь было совестно вообще, потому что он в первый раз попал к Харитине в таком виде.

Обстановка в квартире Полуянова была устроена на господскую руку. Не было той трактирной роскоши, как у Малыгиных, а все по-своему. Какие-то мудреные столики, кушетки, картины, альбомы, даже рояль в зале. Столовая тоже отличалась и громадным буфетом, походившим на орган в католической церкви, и неудобными, но дорогими резными стульями, и мудреною сервировкой. Харитина необыкновенно скоро вошла во вкус новой обстановки и устраивала все, как у других, то есть главным образом как у Стабровских. Она показала Галактиону свою спальню, поразившую его своею роскошью: две кровати красного дерева стояли под каким-то балдахином,

занавеси на окнах были из розового шелка, потом великолепный мраморный умывальник, дорогой персидский ковер во весь пол, а туалет походил на целый магазин.

— Муж откупается от меня вот этими пустяками, — объясняла Харитина. — Ни одной вещи в доме не осталось от его первой жены... У нас все новое. Нравится тебе?

— Право, не знаю... К чему все это нагорожено?

— Как к чему?.. Ах ты, глупый! Посмотрел бы ты, как все устроено у Стабровских... Мне и во сне не видать такой роскоши. Что стоит им, миллионерам...

Когда они вошли в столовую, Харитина проговорила уже другим тоном:

— А знаешь, кто тебя привез сюда?

— Илья Фирсыч, конечно.

— А вот и нет... Сама Прасковья Ивановна. Да... Мы с ней большие приятельницы. У ней муж горький пьяница и у меня около того, — вот и дружим... Довезла тебя до подъезда, вызвала меня и говорит: «На, получай свое сокровище!» Я ей рассказывала, что любила тебя в девицах. Ух! умная баба!.. Огонь. Смотри,

не запутайся... Тут не ты один голову оставил.

— То у меня и на уме... Тоже и сказала.

— Мало ли у кого что на уме, а выходит совсем наоборот. На словах-то все города берут.

Потом Харитина вдруг замолчала, пригорюнилась и начала смотреть на Галактиона такими глазами, точно видела его в первый раз. Гость пил чай и думал, какая она славная, вот эта Харитина. Эх, если б ей другого мужа!.. И понимает все и со всяким обойтись умеет, и развеселится, так любо смотреть.

— А муж тебя любит?

— Очень... Раза два колотил.

— Как колотил?

— Да так, как бьют жен. Все это знают... Ревнует он меня до смерти, — ну, такие и побои не в обиду. Прислуга разболтала по всему городу.

— И ты так говоришь об этом?

Она засмеялась.

— Не беспокойся, в долгу не останусь... ха-ха! Не знал, за что бить-то.

— Что ты говоришь, Харитина?

— А мне что!.. Какая есть... Старая буду, грехи буду замаливать... Ну, да не стоит о на-

ших бабьих грехах толковать: у всех у нас один грех. У хорошего мужа и жена хорошая, Галактион. Это уж всегда так.

Еще вчера Галактион мог бы сказать ей, как все это нехорошо и как нужно жить по-настоящему, а сегодня должен был слушать и молчать.

— Муж-то побьет, а мил-сердечный друг приласкает, да приголубит, да пожалеет... Без побоев тоже и совестно, а тут оно и сойдет за настоящее. Так-то вот.

Галактион перевел разговор на другое. Он по-купечески оценил всю их обстановку и прикинул в уме, что им стоило жить. Откуда у исправника могут такие деньги взяться? Ведь не щепки, на дороге не подымешь.

— Уж это не мое дело, — равнодушно ответила Харитина. — Когда на молоденьких женятся, так о деньгах не думают.

— Может, раньше скопил?

— Не знаю и не хочу знать.

— А ежели он попадется и место потеряет, тогда как?

— Тоже не знаю... Да и все равно мне. Ох, как все равно!

Этот первый визит оставил в Галактионе неизгладимое впечатление. Что-то новое хлынуло на него, совсем другая жизнь, о какой он знал только понаслышке. Харитина откачнулась от своего купечества и жила уже совсем по-другому. Это новое уже было в Заполье, вот тут, совсем близко.

Домой Галактион вернулся поздно. В столовой его ждала Анфуса Гавриловна. Старушка не могла заснуть, поджидая зятя.

— Ты это что же, Галактион Михеич? — с тихим упреком проговорила она.

— Мамаша, ничего не говорите: в первый и последний раз.

— Да я не про то, что ты с канпанией канпанился, — без этого мужчине нельзя. Вот у Харитины-то что ты столько времени делал? Муж в клубе, а у жены чуть не всю ночь гость сидит. Я уж раз с пять Аграфену посылала узнавать про тебя. Ох, уж эта мне Харитина!..

Глава 18

Штофф не дремал. Он отлично помнил все, что говорил Галактиону на мельнице, и на первое время пристроил его к «бубновскому конкурсу». Пьянствовавший запольский

коммерсант отчаяннейшим образом запустил всю свою коммерцию и в заключение отказался платить кредиторам. Пришлось назначить конкурс, председателем которого был старик Луковников, а членами адвокат Мышников и несколько купцов. Вот на помощь этому конкурсу Луковников и пригласил Галактиона, потому что купцы не желали работать, а Мышников не понимал практики коммерческих запольских тонкостей.

— Молодой человек, постарайся, — наставительно говорил Луковников покровительствовавший Галактиону, — а там видно будет... Ежели в отца пойдешь, так без хлеба не останешься.

С своей стороны Штофф предупредил Галактиона, чтобы он обратил особенное внимание на Мышникова.

— Этот далеко пойдет... да. Ухо с ним надо востро держать... А впрочем, мужик умный и серьезный.

Видимо, Штофф побаивался быстро возраставшей репутации своего купеческого адвоката, который быстро шел в гору и забирал большую силу. Главное, купечество верило

ему. По наружности Мышников остался таким же купцом, как и другие, с тою разницей, что носил золотые очки. Говорил он с рассчитанною грубоватою простотой и вообще старался держать себя непринужденно и с большим гонором. К Галактиону он отнесся подозрительно и с первого раза заявил:

— Решительно не понимаю, что вы тут будете делать, Галактион Михеич. Нам и без вас делать нечего.

А между тем в тот же день Галактиону был прислан целый ворох всевозможных торговых книг для проверки. Одной этой работы хватило бы на месяц. Затем предстояла сложная поверка наличности с поездками в разные концы уезда. Обрадовавшийся первой работе Галактион схватился за дело с медвежьим усердием и просиживал над ним ночи. Это усердие не по разуму встревожило самого Мышникова. Он под каким-то предлогом затащил к себе Галактиона и за стаканом чая, как бы между прочим, заметил:

— Вы что это, батенька, надрываетесь над конкурсом?

— Да так... Надобно привести все в извест-

ность, Павел Степаныч. Что же тянуть?

— Да тут и тянуть нечего: дело ясно как день. В сущности никакой и несостоятельности нет, а одно бубновское беспросыпное пьянство.

— Тем более...

— Ну, торопятся только блох ловить, — загадочно ответил Мышников и посмотрел на Галактиона через очки.

Галактион только теперь понял, в чем дело. Конкурс Бубнова составлял статью постоянного дохода, и чем дольше он будет тянуться, тем выгоднее для членов конкурса, получавших определенное жалованье и, кроме того, известный процент с «конкурсной массы»...

— Да, дело совершенно верное, — тянул Мышников. — И даже очень глупое... А у Прасковьи Ивановны свой отдельный капитал. Притом дни самого Бубнова уже сочтены... Мне говорил доктор... ну, этот сахар, как его... Кочетов. Он тут что-то этакое вообще... Да, нам положительно некуда так торопиться.

Жил Мышников очень просто, на чинов-

ничью ногу. Он не был женат, хотя его уютная квартира и говорила о семейных наклонностях хозяина.

Галактион понял только одно, что производилось разорение спившегося купца на самом законном основании, а затем, что деньги можно получать совершенно даром. Он мог уже существовать с семьей только на жалованье с конкурса. В первый еще раз Галактиону пришлось столкнуться с нечистым делом, и он поколебался, продолжать его или бросить в самом начале. Но ведь не он, так на его место найдется десяток других охотников, притом во главе конкурса стоял такой почтенный человек, как старик Луковников; наконец, ему не из чего было выбирать, а жить было нужно. Чтобы оправить себя в своих собственных глазах, Галактион решил, что будет участвовать в конкурсе пока, до приискания настоящего дела. Он именно жаждал этого настоящего дела, а не темной наживы.

— А ты, брат, не сомневайся, — уговаривал его Штофф, — он уже был с Галактионом на «ты». — Как нажиты были бубновские капиталы? Тятенька был приказчиком и ограбил

хозяина, пустив троих сирот по миру. Тут, брат, нечего церемониться... Еще темнее это винокуренное дело. Обрати внимание.

Винокуренный завод интересовал Галактиона и без этих указаний. Главное затруднение при выяснении дела заключалось в том, что завод принадлежал Бубнову наполовину с Евграфом Огибениным, давно уже пользовавшимся невменяемостью своего компаньона и ловко хоронившим концы. Потом оказалось, что и сам хитроумный Штофф тоже был тут при чем-то и потому усиленно юлил перед Галактионом. Все-таки свой человек и, в случае чего, не продаст. Завод был небольшой, но давал солидные средства до сих пор.

По конкурсным делам Галактиону теперь пришлось бывать в бубновском доме довольно часто. Сам Бубнов по болезни не мог являться в конкурс для дачи необходимых объяснений, да и дома от него трудно было чего-нибудь добиться. На выручку мужа являлась обыкновенно сама Прасковья Ивановна, всякое объяснение начинавшая с фразы:

— У меня свой капитал, и я ничего не понимаю в делах.

Но это была только одна отговорка. Она отлично понимала всякие дела, хотя и относилась к конкурсу совершенно равнодушно.

— Она ждет не дождется, когда муж умрет, чтобы выйти замуж за Мышникова, — объяснила Харитина эту политику. — Понимаешь, влюблена в Мышникова, как кошка. У ней есть свои деньги, и ей наплевать на мужнины капиталы. Все равно прахом пойдут.

С Галактионом Прасковья Ивановна держалась на деловую ногу, хотя и не прочь была пококетничать слегка. Все-таки нужный человек и может пригодиться. Галактион отлично понимал только одно, что она находится под каким-то странным влиянием своего двоюродного брата Голяшкина и все делает по его совету. В конкурсной массе были явные следы хозяйничанья этого сладкого братца, и Галактион сильно его подозревал в больших плутнях. Вообще, чем дальше в лес, тем больше дров. Братец умильно старался ухаживать за Галактионом, хотя и не знал, с какой стороны к нему подступиться. Он что-то не договаривал и только воровато шмыгал глазами. Галактион почему-то чувствовал

уже себя неловко, когда появлялся этот братец. Да и появлялся он всегда как-то неожиданно, точно вырастал из земли.

Главное действующее лицо всех этих происков, вожделений и тайных желаний не принимало никакого участия в общей суматохе. Больной обыкновенно лежал в своем кабинете на широком клеенчатом диване и бессмысленно смотрел куда-нибудь в одну точку. Когда к нему входил Галактион, он сначала смотрел на него испуганными глазами, напрасно стараясь припомнить, кто это такой. Как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый трупный оттенок, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, лицо кривилось ужасною улыбкой.

— Мн... мадерцы, — хрипел он.

Бубнов пил только мадеру и без нее не мог ни двигаться, ни говорить. Шелест женина платья по прежнему его пугал, и больной делал над собой страшное усилие, чтобы куда-нибудь не спрятаться. Для дела он был совершенно бесполезен, и Галактион являлся к нему только для проформы. Раз Бубнов отвел

его в сторону и со слезами на глазах проговорил:

— Вы сделаете для меня?

— Что такое сделать?

— Нет, вы скажите: сделаете?

— Ну хорошо, сделаю.

Больной подвел его к какому-то угловому шкафику и шепотом проговорил:

— Голубчик, поймайте его... Он там всегда прячется.

— Кто он?

— А чертик... такой зелененький!

Что было тут говорить? Больной несколько раз избавлялся от своих галлюцинаций, а потом начиналась та же история.

В бубновском доме Галактион часто встречал доктора Кочетова, который, кажется, чувствовал себя здесь своим человеком. Он проводил свои визиты больше с Прасковьей Ивановной, причем обязательно подавалась бутылка мадеры. Раз, встретив выходившего из кабинета Галактиона, он с улыбкой заметил:

— Что вы мучите напрасно Ефима Назарыча?

— Такое уж дело, доктор... Не для собствен-

ного удовольствия.

— Ха-ха! Мне нравится этот вежливый способ грабежа. Да... Не только ограбят, но еще спросят, с которого конца. Все по закону, главное... Ах, милые люди!

Галактион вспыхнул и готов был наговорить доктору дерзостей, но выручила Прасковья Ивановна.

— Да ведь и вы, доктора, тоже хороши, — азартно вступилась она. — Тоже по закону морите живых людей... Прежде человек сам умирал, а нынче еще заплати доктору за удовольствие помереть.

— Что же, вы правы, — равнодушно согласился доктор, позабыв о Галактионе. — И мы тоже... да. Ну, что лечить, например, вашего супруга, который представляет собой пустую бочку из-под мадеры? А вы приглашаете, и я еду, прописываю разную дрянь и не имею права отказаться. Тоже комедия на законном основании.

Провожая Галактиона в переднюю, Прасковья Ивановна с милою интимностью проговорила:

— Доктор очень милый человек, но он се-

годня немного того... понимаете? Ну, просто пьян! Вы на него не обижайтесь.

— Да я, кажется, ничего не сказал. Вы сами можете подумать то же самое.

— Я-то? Ах, мне решительно все равно!

Эта первая неудачная встреча не помешала следующим, и доктор даже понравился Галактиону, как человек совершенно другого, неизвестного ему мира. Доктор постоянно был под хмельком и любил поговорить на разные темы, забывая на другой день, о чем говорилось вчера.

— А у вас все Мышников орудует? — спрашивал доктор почти при каждой встрече. — О, у него громадный аппетит!.. Он вас всех слопает.

Доктор почему-то ненавидел этого адвоката. Прасковья Ивановна пользовалась, чтобы поддразнить его.

— Вы просто ревнуете Павла Степаныча, доктор. Вам завидно, что он тоже образованный. Да, из нашего, из купеческого звания и образованный... Умница.

— Вот посмотрим, что вы заговорите, когда он вас оберет, как липку.

— Да я сама бы ему с радостью все отдала: на, милый, ничего не жаль. И деньги, доктор, к рукам.

Эти разговоры кончались обыкновенно тем, что доктор выходил из себя и начинал ругать Мышникова, а если был трезв, то брал шапку и уходил. Прасковья Ивановна провожала его улыбавшимися глазами и только качала своею белокурою головкой.

Раз доктор приехал сильно навеселе. Прасковьи Ивановны не было дома.

— Вы все еще жилы тянете из моего пациента? — спросил он Галактиона сильно заплетавшимся языком. — И я тоже... С двух сторон накаливаем. Да?

— Вы это так говорите, доктор, без толку.

— Нет, с толком, ваше степенство. Вы нигде не учились, Галактион Михеич?

— Нет, нигде. Раскольничья своя мастерица кое-как грамоте обучила.

— Это ваше счастие... да... Вот вы теперь будете рвать по частям, потому что боитесь влопаться, а тогда, то есть если бы были выучены, начали бы глотать большими кусками, как этот ваш Мышников... Я знаю

несколько таких полированных купчиков, и все на одну колодку... да. Хоть ты его в семи водах мой, а этой вашей купеческой жадности не отмыть.

— Это тоже глядя по человеку, доктор. Разные и купцы бывают.

— Разные-то разные, а жадность одна. Вот вас взять... Молодой, неглупый человек... отлично знаете, как наживаются все купеческие капиталы... Ну, и вы хотите свою долю урвать? Ведь хотите, признайтесь? Меня вот это и удивляет, что в вас во всех никакой совести нет.

— Вы это правильно, а только суди на волка, суди и по волку, — так пословица говорится, доктор. Видали мы и настоящих господ, и господ иностранцев, какие они узоры-то выводят? Еще нас поучат.

— Да, бывает... Все бывает. Слопаете все отечество, а благодарных потомков пустите по миру... И на это есть закон, и, может быть, самый страшный: борьба за существование. Оберете вы все Зауралье, ваше степенство.

Слушая ожесточенные выходки доктора, Галактион понимал только одно, что он дей-

ствительно полный неуч и даже не знает настоящих образованных слов.

Глава 19

Старик Луковников, сделавшись городским головой, ни на волос не изменил образа своей жизни. Он по-прежнему жил в нижнем этаже в своих маленьких каморках, а наверху принимал только гостей в торжественные дни именин и годовых праздников. Крепкий был старик и крепко жил, не в пример другим прочим. Устеньке было уже двенадцать лет, и у отца с ней вместе росла большая забота. Сам-то вот прожил век по старинке, а дочери уж как будто и не приходится. Требовалось что-то новое, чтобы потом не стыдно было в люди показать. Вот у протопопа обе дочери в гимназии учатся в Екатеринбурге, потом из чиновничьих дочерей тоже не отстают. Мельком Луковников видал этих новых птиц, и они ему нравились. И платьица такие скромненькие, коричневенькие, и переднички беленькие, и волосики гладко-гладко причесаны, и разговор по-образованному, и еще на фортепьянах наигрывают, — куда же купеческим девицам против них? Тем и отлича-

ются от деревенских девок, что шляпки носят да рядятся, а так-то дуры дурами.

Умный старик понимал, что по прежнему девушку воспитывать нельзя, а отпустить ее в гимназию не было сил. Ведь только и свету было в окне, что одна Устенька. Да и она тосковать будет в чужом городе. Думал-думал старик, и ничего не выходило; советовался кое с кем из посторонних — тоже не лучше. Один совет — отправить Устеньку в гимназию. Легко сказать, когда до Екатеринбурга больше четырехсот верст! Выручил старика из затруднения неожиданный и странный случай.

«Вот уж поистине, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь», — удивлялся он сам.

Дело вышло как-то само собой. Повадился к Луковникову ездить Ечкин. Очень он не нравился старику, но, нечего делать, принимал его скрепя сердце. Сначала Ечкин бывал только наверху, в парадной половине, а потом пробрался и в жилые комнаты. Да ведь как пробрался: приезжает Луковников из думы обедать, а у него в кабинете сидит Ечкин и с Устенькой разговаривает.

— Уж вы меня извините, Тарас Семеныч.

— Пожалуйста, Борис Яковлич... Только мне принимать-то вас здесь как будто и совестно... Ну, я-то привык, а вы в хороминах живете.

— По необходимости, Тарас Семеныч, по необходимости... А сам я больше всего простоту люблю. Отдохнул у вас... Вот и с Устенькой вашей познакомился. Какая милая девочка!

— Хороша дочка Аннушка, только хвалит мать да бабушка.

— Нет, я серьезно... Мы с ней сразу друзьями сделались.

Старика покоробило от этой дружбы, но ничего не поделаешь. Как это Ечкин мог только пробраться в домашние горницы? — удивления достойно! Чего старуха нянька смотрела? Как бы изумился и вознегодовал Тарас Семеныч, если б узнал правду: бывая наверху. Ечкин каждый раз давал старухе по три рубля на чай и купил ее этим простым путем. Полюбился старухе ласковый да тароватый барин, и она ни за что не хотела верить, что он «из жидов». Жиды скупущие, сами с других деньги берут, а этот так и сыплет бумажками. Не

может этого и быть, чтобы «из жидов». Да и собой мужчина красавец, так соколом и выглядывает. Какой же это жид? Одним словом, старуха была куплена и провела гостя в жилые горницы.

— Сняла ты с меня голову, — корил ее потом Луковников. — Из настоящих он жидов и даже некрещеный.

Старуха так и не поверила, а потом рассердилась на хозяина: «Татарина Шахму, кобылятника, принимает, а этот чем хуже? Тот десять раз был и как-то пятак медный отвалил, да и тот с дырой оказался».

И сам Луковников, хотя и испытывал предубеждение относительно «жида», но под конец сдался. Человек как человек, ничем не хуже других народов, а только умнее. Поговорить с ним даже приятно, — все-то он знает, везде-то бывал и всякое дело понимает. Любопытный вообще человек. Приедет и всегда вежливый такой. Устеньке непременно подарочек привезет и даже старуху няньку не забудет, — как-то на два платья ситцу привез. Нечего сказать, увертлив и ловок. Конечно, недаром он к нему ездит, хочет что-нибудь

вытянуть, но и то надо сказать, что волка ноги кормят. Один раз Ечкин чуть не потерял своего реноме зараз: приехал и просит пять тысяч на три дня. Смутила эта просьба Луковникова, но точно на него что нашло — пошел и дал деньги. Однако Ечкин оправдал себя и вернул деньги из минуты в минуту.

— Послушайте, Тарас Семеныч, я знаю, что вы мне не доверяете, — откровенно говорил Ечкин. — И даже есть полное основание для этого... Действительно, мы, евреи, пользуемся не совсем лестной репутацией. Что делать? Такая уж судьба! Да... Но все-таки это несправедливо. Ну, согласитесь: когда человек родится, разве он виноват, что родится именно евреем?

— Это, конечно, Борис Яковлич. От необразования больше.

— А между тем обидно, Тарас Семеныч. Поставьте себя на мое место. Ведь еврей такой же человек. Среди евреев есть и дураки и хорошие люди. Одним словом, предрассудок. А что верно, так это то, что мы люди рабочие и из ничего создаем капиталы. Опять-таки: никто не мешает работать другим. А если вы не

хотите брать богатства, которое лежит вот тут, под носом... Упорно не хотите. И средства есть и энергия, а только не хотите.

— Послушайте, кто же себе враг, Борис Яковлич? От денег никто еще не отказывался.

— Да вы первый. Вот возьмите хотя ваше хлебное дело: ведь оно, говоря откровенно, ушло от вас. Вы упустили удобный момент, и какой-нибудь старик Колобов отбил целый хлебный рынок. Теперь другие потянутся за ним, а Заполье будет падать, то есть ваша хлебная торговля. А все отчего? Колобов высмотрел центральное место для рынка и воспользовался этим. Постройте вы крупчатные мельницы раньше его, и ему бы ничего не поделать... да. Упущен был момент.

— Это вы действительно верно изволите рассуждать. Кто же его знал?.. Еще приятель мой. И небогатый человек, главное... Сказывают, недавно целую партию своей крупчатки в Расею отправил.

— Из этого ничего не выйдет, пока не проведут Уральскую железную дорогу. Все барыши перевозка съест.

— Так я, по-вашему, должен был крупчат-

ку выстроить?

— И даже не одну, а несколько, и рынок остался бы в ваших руках. Впрочем, и теперь можно поправить дело.

— Именно?

— Вальцовую мельницу выстроить. Ведь для одной такой мельницы нужно миллион пудов пшеницы. Извольте-ка конкурировать с таким зверем.

— Необычное это дело, Борис Яковлич, и больших тысяч стоит.

— Я говорю к примеру... Мало ли есть других дел, Тарас Семеныч? Только нужны люди и деньги... да.

— Что же деньги — и деньгами отца с матерью не купишь.

Для Ечкина это было совсем не убедительно. Он развил широкий план нового хлебного дела, как оно ведется в Америке. Тут были и элеватор, и подъездные пути, и скорый кредит, и заграничный экспорт, и интенсивная культура, — одним словом, все, что уже существовало там, на Западе. Луковников слушал и мог только удивляться. Ему начинало казаться, что это какой-то сон и что Ечкин про-

сто его морочит.

— Да вы это так все говорите, Борис Яковлич? Конечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за печкой... Темные люди, одним словом.

— Все видел своими глазами, — уверял Ечкин. — Да, все это существует. Скажу больше: будет и у нас, то есть здесь. Это только вопрос времени.

Впрочем, у него было несколько других проектов, не менее блестящих, чем хлебное дело на новых основаниях.

— Вот хоть бы взять ваше сальное дело, Тарас Семеныч: его песенка тоже спета, то есть в настоящем его виде. Вот у вас горит керосиновая лампа — вот где смерть салу. Теперь керосин все: из него будут добывать все смазочные масла; остатки пойдут на топливо. Одним словом, громаднейшее дело. И все-таки есть выход... Нужно основать стеариновую фабрику с попутным производством разных химических продуктов, маргариновый завод. И всего-то будет стоить около миллиона. Хотите, я сейчас подсчитаю?

— Мы этим делом совсем не занимаемся.

Это уж вы степнякам объясняйте.

— А как вы думаете относительно сибирской рыбы? У меня уже арендованы пески на Оби в трех местах. Тоже дело хорошее и верное. Не хотите? Ну, тогда у меня есть пять золотых приисков в оренбургских казачьих землях... Тут уж дело вернее смерти. И это не нравится? Тогда, хотите, получим концессию на устройство подъездного пути от строящейся Уральской железной дороги в Заполье? Через пять лет вы не узнали бы своего Заполья: и банки, и гимназия, и театр, и фабрики кругом. Только нужны люди и деньги.

— Вот что, Борис Яковлич, со мной вы напрасно хорошие слова только теряете, а идите-ка вы лучше к Евграфу Огибенину. Он у нас модник и, наверное, польстится на новое.

— Я уже был у него. Кажется, у нас устраивается одно дельце.

— Ну, в добрый час!

Для Луковникова ясно было одно, что новые умные люди подбираются к их старозаветному сырью и к залежавшимся купеческим капиталам, и подбираются настойчиво. Ему делалось даже страшно за то будущее, о

котором Ечкин говорил с такою уверенностью. Да, приходил конец всякой старинке и старинным людям. Как хочешь, приспособляйся по-новому. Да, страшно будет жить простому человеку.

К Ечкину старик понемногу привык, даже больше — он начал уважать в нем его удивительный ум и еще более удивительную энергию. Таким людям и на свете жить. Только в глубине души все-таки оставалось какое-то органическое недоверие именно к «жиду», и с этим Тарас Семеныч никак не мог совладеть. Будь Ечкин кровный русак, совсем бы другое дело.

Но и тут Ечкин купил упрямого старика, да еще как ловко купил — со всем потрохом. Лучше и не бывает.

Завернул как-то Ечкин по пути, — он вечно был занят по горло и вечно куда-нибудь торопился.

— Вот что, Тарас Семеныч, я недавно ехал из Екатеринбурга и все думал о вас... да. Знаете, вы делаете одну величайшую несправедливость. Вас это удивляет? А между тем это так... Сами вы можете жить, как хотите, — де-

ло ваше, — а зачем же молодым запирать дорогу? Вот у вас девочка растет, мы с ней большие друзья, и вы о ней не хотите позаботиться.

— То есть это как же не хочу?

— Да нельзя ее оставлять так, чумичкой. Вы уж меня извините за откровенность... Да, нельзя. Вырастет большая и вас же попрекнет.

— Да уж я и сам думал, Борис Яковлич, и так и этак. Все равно ничего не выходит. Думаю вот, когда у протопопа старшая дочь кончит в гимназии, так чтоб она поучила Устюшу... Оболванит немного.

— Нет, это не годится. Время дорого, Тарас Семеныч... Так я ехал, думал о вас и придумал. И не только придумал, а даже наполовину устроил. Теперь все будет от вас зависеть. Ведь вы хорошо знаете Болеслава Брониславича Стабровского? У него тоже есть дочь, одних лет с вашей Устенькой. Он без ума ее любит, как и вы, и недавно выписал для ее воспитания англичанку прямо из Англии. Одного жалованья платит ей тысячу рублей. Так вот хотите свою Устеньку учить вместе? На

всякий случай я уже переговорил с Стабровским, и он очень рад, чтоб ваша дочь училась вместе с его Дидей.

Это предложение совершенно ошеломило Тараса Семеныча, и он посмотрел на гостя какими-то испуганными глазами. Как же это так вдруг и так просто?..

— Послушайте, Борис Яковлич, я вам очень благодарен, но это такое особенное дело, что нужно подумать и подумать.

— Я и не требую, чтоб вы решили сейчас. Стабровский как-нибудь сам к вам заедет.

— Знаете что, не люблю я вашего Стабровского! Нехорошее он дело затевает, неправильное... Вконец хочет спаивать народ. Бог с ними и с деньгами, если на то пошло!

— Ах, какой вы, Тарас Семеныч! Стабровский делец — одно, а Стабровский семейный человек, отец — совсем другое. Да вот сами увидите, когда поближе познакомитесь. Вы лучше спросите меня: я-то о чем хлопочу и беспокоюсь? А уж такая натура: вижу, девочка растет без присмотру, и меня это мучит. Впрочем, как знаете.

— Да я-то ничего не знаю, Борис Яковлич.

Эта забота об Устеньке постороннего человека растрогала старика до слез, и он только молча пожал руку человеку, которому не верил и которого в чем-то подозревал. Да, не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

Глава 20

Судьба Устеньки быстро устроилась, — так быстро, что все казалось ей каким-то сном. И долго впоследствии она не могла отделаться от этого чувства. А что, если б Стабровский не захотел приехать к ним первым? если бы отец вдруг заупрямился? если бы соборный протопоп начал отговаривать папу? если бы она сама, Устенька, не понравилась с первого раза чопорной английской гувернантке мисс Дудль? Да мало ли что могло быть, а предвидеть все мелочи и случайности невозможно.

Стабровский приехал к Луковникову ровно через два дня. Это было около двенадцати часов. Тарас Семеныч очень встревожился и провел гостей в парадную половину. Ему понравилось, как Дидя хорошо и просто была одета и как грациозно сделала ему реверанс. Девочка была некрасивая, но личико такое умненькое и все, как комнатная собачка, за-

глядывает на гувернантку, строгую и какую-то всю серую девицу неопределенных лет. Сам Стабровский, несмотря на свои за пятьдесят и коротко остриженные седые волосы, выглядел молодцом. За ним уже установилась репутация миллионера, и Тарас Семеныч, по купеческому уважению ко всякому капиталу, относился к нему при редких встречах с большим вниманием, хотя и не любил его.

— Вот мы приехали знакомиться, — с польскою ласковостью заговорил Стабровский, наблюдая дочь. — Мы, старики, уже прожили свое, а молодым людям придется еще жить. Покажите нам свою славяночку.

Луковникову пришлось по душе и это название: славяночка. Ведь придумает же человек словечко! У меня, мол, дочь, хоть и полька, а тоже славяночка. Одна кровь.

— Я вот ее, козу, сюда приведу, Брониславъ...

— Болеслав Брониславич, — поправил Стабровский с улыбкой. — Впрочем, что же вам беспокоить маленькую хозяйку? Лучше мы сами к ней пойдем... Не правда ли, мисс

Дудль?

— O, yes…[43]

— Да у нас, знаете, все не прибрано.

— Ничего, ничего, не — беспокойтесь. Нам необходимо посмотреть, как живет славяночка, какие у нее привычки. Вы простите наше невинное любопытство.

Мягкая настойчивость Стабровского победила смущение хозяина, и он по внутренней узенькой лестнице провел их в нижние жилые горницы. Как ни привык Стабровский к купеческой обстановке, но и он только съежил плечи, оглядывая ветхозаветные горницы. Англичанка сморщила свой утиный нос, нюхая воздух, пропитанный ароматом русских щей, горевшей в углу лампадки и еще чего-то «русского», как она определила про себя. Выведенная напоказ, Устенька страшно переконфузилась и неловко подавала свою руку «дощечкой», как назвала это деревянное движение Дидя про себя. Она была одета в простеньком ситцевом платье, и мисс Дудль точно впилась в ее недостаточно вымытую шейку. В своем детском смущении Устенька рядом с Дидей выглядела почти красавицей.

Особенно хорошо было это простое русское лицо, глядевшее такими простыми темными глазами. Стабровский залюбовался «славяночкой», обнял ее и поцеловал.

— Ну, славяночка, будем знакомиться. Это вот моя славяночка. Ее зовут Дидей. Она считает себя очень умной и думает, что мир сотворен специально только для нее, а все остальные девочки существуют на свете только так, между прочим.

Мисс Дудль после шеи Устеньки пришла в ужас от ее имени и по-английски спросила Стабровского:

— Это все равно, что Уильки?

— Да, да, все равно.

— Совершенно неорганизованная девочка.

— И прехорошенькая. Посмотрите, какая у нее умненькая мордашка.

— О, yes...

В дверную щель с ужасом смотрела старая няня. Она оторопела совсем, когда гости пошли в детскую. Тарас-то Семеныч рехнулся, видно, на старости лет. Хозяин растерялся не меньше старухи и только застегивал и расстегивал полу своего старомодного сюртука.

Крошечная детская с одним окном и двумя кроватями привела мисс Дудль еще раз в ужас, а потом она уже перестала удивляться. Гости произвели в детской что-то вроде обыска. Мисс Дудль держала себя, как опытный сыщик: осмотрела игрушки, книги, детскую кровать, заглянула под кровать, отодвинула все комоды и даже пересчитала белье и платья. Стабровский с большим вниманием следил за ней и тоже рассматривал детские лифчики, рубашки и кофточки.

«Вот бесстыжие-то! — думала няня, делавшая несколько напрасных попыток не пустить любопытных гостей в комод. — Это похуже всяких жидов!»

— Обстановка и гардероб девочки пещерного периода, — резюмировала мисс Дудль впечатление обыска.

— Уж вы нас извините, — оправдывался Тарас Семеныч. — Сиротой растет девочка, вот главная причина, а потом ведь у нас все попросту.

— Что ж, каждый живет по-своему, — ответил Стабровский, что-то соображая про себя.

Тарасу Семенычу было и совестно, что ан-

гличанка все распотрошила, а с другой стороны, и понравилось, что миллионер Стабровский с таким вниманием пересмотрел даже белье Устеньки. Очень уж он любит детей, хоть и поляк. Сам Тарас Семеныч редко заглядывал в детскую, а какое белье у Устеньки — и совсем не знал. Что нянька сделает, то и хорошо. Все дело чуть не испортила сама Устенька, потому что под конец обыска она горько расплакалась. Стабровский усадил ее к себе на колени и ласково принялся утешать.

— О чем мы плачем, славяночка? Нехорошо плакать. У славяночки будет новая подруга. Им вместе будет веселее. Они будут учиться, играть, гулять.

Отправив домой Дидю и гувернантку, Стабровский остался для окончательных переговоров с Тарасом Семенычем. Они сидели теперь в маленьком кабинете. Стабровский закурил сигару и заговорил:

— Мы себя держали сегодня немного нахально, Тарас Семеныч, и это не входило совсем в нашу программу. Так уж случилось. Нужно сказать, что я безумно люблю детей и вхожу до последних мелочей в воспитание

своей дочери. И я рад, что мисс Дудль — эта святая девушка — произвела надлежащую ревизию детской вашей Устеньки. Знаете, дорогой Тарас Семеныч, так нельзя. Скажу больше: это дико. Вы человек состоятельный, умный, серьезный, любящий, а о воспитании не имеете даже приблизительного понятия. Это слишком ответственная вещь, и я не взялся бы сам воспитывать собственную дочь. Знаете, в нас есть эта проклятая славянская распущенность, предательская мягкость характера, наконец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. Вот мисс Дудль даст настоящую европейскую закалку нашим девочкам. Когда ваша Устенька будет жить в моем доме, то вы можете точно так же прийти к девочкам в их комнату и сделать точно такую же ревизию всему.

— То есть как это Устенька будет жить в вашем доме, Болеслав Брониславич?

— Иначе не можно... Раньше я думал, что она будет только приезжать учиться вместе с Дидей, но из этого ничего не выйдет. Конечно, мы сделаем это не вдруг: сначала Устенька будет приходить на уроки, потом будет

оставаться погостить на несколько дней, а уж потом переедет совсем.

— Надо подумать, Болеслав Брониславич.

— Конечно, конечно... Виноват, у вас является сам собой вопрос, для чего я хлопочу? Очень просто. Мне не хочется, чтобы моя дочь росла в одиночестве. У детей свой маленький мир, свои маленькие интересы, радости и огорчения. По возрасту наши девочки как раз подходят, потом они будут дополнять одна другую, как представительницы племенных разновидностей.

Впоследствии сам Тарас Семеныч удивлялся, как он мог решиться на такой важный шаг и как вообще мог позволить совершенно посторонним людям вмешиваться в свою интимную жизнь. Очень уж он любил свою дочурку и для нее в первый раз поступился старинкой, особенно когда Стабровский в целом ряде серьезных бесед выяснил ему во всех подробностях план того образования, который должны были пройти рука об руку обе славянки. Он умел говорить необыкновенно увлекательно, и Тарас Семеныч отлично понял, что воспитание гораздо сложнее и ответ-

ственнее всяких вальцовых мельниц, стеариновых фабрик, винокуренных заводов и прочей премудрости.

Устенька навсегда сохранила в своей памяти этот решительный зимний день, когда отец отправился с ней к Стабровским. Старуха нянька ревела еще с вечера, оплакивая свою воспитанницу, как покойницу. Она только и повторяла, что Тарас Семеныч рехнулся и хочет обасурманить родную дочь. Эти причитания навели на девочку тоску, и она ехала к Стабровским с тяжелым чувством, вперед испытывая предубеждение против долговязой англичанки, рывшейся по комодам.

Стабровский занимал громадную квартиру, которую отделал с настоящею тяжелою роскошью. Это чувствовалось еще в передней, где гостей встречал настоящий швейцар, точно в думе или в клубе. Стабровский выбежал сам навстречу, расцеловал Устеньку и потащил ее представлять своей жене, которая сидела обыкновенно в своей спальне, укутанная пледом. Когда-то она была очень красива, а теперь больное лицо казалось старше своих

лет. Она тоже приласкала гостью, понравившуюся ей своею детскою свежестью.

— Не правда ли, какая она милая? — спрашивал Стабровский, точно боялся, что Устенька не понравится жене.

— Какая она здоровая! — с грустью заметила она, любуясь девочкой. — Вся крепкая, как рыба.

«Неорганизованную девочку» больше всего интересовала невиданная никогда обстановка, особенно картины на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое главное — рояль. Ей казалось, что она перенеслась на крыльях в совершенно иной мир. Благодарная детская память сохранила и перенесла это первое впечатление через много лет, когда Устенька уже понимала, как много и красноречиво говорят вот эти гравюры картин Яна Матейки[44] и Семирадского[45], копии с знаменитых статуй, а особенно та этажерка с нотами, где лежали рыдающие вальсы Шопена, старинные польские «мазуры» и еще много-много других хороших вещей, о существовании которых в Заполье даже и не подозревали.

— Вот здесь я деловой человек, — объяснил Стабровский, показывая Луковникову свой кабинет. — Именно таким вы меня знали до сих пор. Сюда ко мне приходят люди, которые зависят от меня и которые завидуют мне, а вот я вам покажу другую половину дома, где я самый маленький человек и сам нахожусь в зависимости от всех.

Познакомив с женой, Стабровский провел гостя прежде всего в классную, где рядом с партой Диди стояла уже другая новенькая парта для Устеньки. На стенах висели географические карты и рисунки, два шкафа заняты были книгами, на отдельном столике помещался громадный глобус.

— Вот это главная комната в доме, потому что в ней мы зарабатываем свое будущее, — объяснял Стабровский гостю. — Вот и вашей славяночке уже приготовлена парта. Здесь царство мисс Дудль, и я спрашиваю ее позволения, прежде чем войти.

Затем осмотрена была детская, устроенная мисс Дудль по всем правилам строгой английской школы. Самая простая кровать, мебель, вся обстановка, а роскошь заключалась

в какой-то вызывающей чистоте. Детскую показывала сама мисс Дудль, и Тарасу Семенычу показалось, что англичанка сердится на него. Когда он сообщил это хозяину, тот весело расхохотался.

— Нет, вы ошибаетесь... Это добрейшее существо, но уж такую наружность бог дал. Ничего не поделаешь... Идемте завтракать.

Первый завтрак у Стабровских опять послужил предметом ужаса для мисс Дудль. «Неорганизованная девочка» решительно не умела держать себя за столом, клала локти чуть не на тарелку, стучала ложкой, жевала, раскрывая рот, болтала ногами и — о, ужас! — вытащила в заключение из кармана совсем грязный носовой платок. Мисс Дудль чуть не сделалось дурно.

Вечером Стабровский работал в своем кабинете за полночь и все думал о маленькой славяночке, которая войдет в дом. Кто знает, что из этого может произойти? Из маленьких причин очень часто вырастают большие и сложные последствия.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал он, отодвигая бумаги.

Никто не подозревал, ни посторонние, ни свои, как мучился этот магнат, оставаясь вот так один. Никто не знал, как он боялся за свою любимицу. Один знаменитый психиатр предсказал ему, что в период формирования с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к острым нервным страданиям и даже к психической ненормальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовавших и распутничавших предков по женской линии. И вот он должен ждать и мучиться вперед, готовый каплю по капле перелить собственную кровь в жилы ребенка. Ведь все остальное пустяки, а все главное в ней, в этой умненькой не по летам девочке. Может быть, присутствие и совместная жизнь с настоящею здоровою девочкой произведут такое действие, какого не в состоянии сейчас предвидеть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка и другие болезни, — отчего же не может точно так же передаться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу для дочери, но только не из польской семьи, а именно из русской. Ему показалось, что Устенька — именно та здоровая русская девочка, которая

принесет в дом с собой целую атмосферу здоровья.

— Ах, Дидя, Дидя! — шептал удрученный предчувствиями отец, хватаясь за голову.

Глава 21

Серафима приехала в Заполье с детьми ночью. Она была в каком-то особенном настроении. По крайней мере Галактион даже не подозревал, что жена может принимать такой воинственный вид. Она не выдержала и четверти часа и обрушилась на мужа целым градом упреков.

— Я знаю, что тебе неприятно, что мы приехали, — говорила Серафима. — Ты обрадовался, что бросил нас в деревне… да.

— Что ты говоришь? — удивлялся Галактион. — Никого я не думал бросать.

— Не отпирайся… Обещал прислать за нами лошадей через две недели, а я прожила целых шесть, пока не догадалась сама выехать. Надо же куда-нибудь деваться с ребятишками… Хорошо, что еще отец с матерью живы и не выгонят на улицу.

— Сима, мне не хотелось тебя вызывать, пока я не устроюсь. Только и всего.

— Знаю, знаю, что ты тут хорошо устроился. Совсем хорошо... Ну, как поживает любезная сестрица Харитина Харитоновна? А потом, как эту мерзавку зовут? Бубниху?.. Хорошими делами занялся, нечего сказать!

Свидетелями этой сцены были Анфуса Гавриловна, Харитон Артемьич и Агния. Галактион чувствовал только, как вся кровь бросилась ему в голову и он начинает терять самообладание. Очевидно, кто-то постарался и насплетничал про него Серафиме. Во всяком случае, положение было не из красивых, особенно в тестевом доме. Сама Серафима показалась теперь ему такою некрасивой и старой. Ей совсем было не к лицу сердиться. Вот Харитина, так та делалась в минуту гнева еще красивее, она даже плакала красиво.

— Сима, ты бы и потом могла с мужем переговорить, — политично заметила Анфуса Гавриловна. — Мы хоть и родители тебе, а промежду мужем и женой один бог судья.

— Это ты верно, Фуса, — подтвердил Харитон Артемьич, старясь не смотреть на зятя. — В другой раз и помолчать надо бы, Сима.

Этого было достаточно, и Серафима зали-

лась слезами. С ней даже сделалось дурно. Проснувшиеся дети тоже принялись кричать. Одним словом, получилась жестокая семейная сцена, и Галактион не мог заснуть до утра. Он даже не оправдывался, а только затаил ненависть к жене, главным образом потому, что она срамила его в чужом доме, на людях. А он еще так соскучился о ребятишках и так рад был их видеть. И дети тоже обрадовались и так мило льнули к нему, точно цыплята. В первый раз еще охватила его какая-то смутная жалость по отношению вот к этим детским головкам, точно над ними собиралась темная туча. Ему, наконец, было совестно смотреть в эти чистые детские глаза, припоминая сцену, когда он обнимал Харитину. Если бы жена не накинулась на него, он, вероятно, сам бы рассказал все, чтоб отрезать всякую возможность повторения чего-нибудь подобного, а теперь жена точно заперла его на замок своими обвинениями. Результат этой сцены был один: во что бы то ни стало выбраться как можно скорее из тестева дома. В своем углу все-таки сам большой, сам маленький, а здесь чувствовалась тяжелая за-

висимость. Перебирая в уме, кто бы мог наплесть жене разные сплетни, Галактион решил, что это была тихоня Агния, и возненавидел ее. Как бы он удивился, если б узнал, что писала сама Харитина!

Так началась семейная жизнь Галактиона в Заполье. Наружно он помирился с женой, но это плохо скрывало глубокий внутренний разлад. Между ними точно выросла невидимая стена. Самым скверным было то, что Галактион заметно отшатнулся от Анфусы Гавриловны и даже больше — перешел на сторону Харитона Артемьича.

— А ты, зятюшка, не очень-то баб слушай... — тайно советовал этот мудрый тесть. — Они, брат, изведут кого угодно. Вот смотри на меня: уж я, кажется, натерпелся от них достаточно. Даже от родных дочерей приходится терпеть... Ты не поддавайся бабам.

Харитон Артемьич дошел до того, что тайно передавал зятю все домашние разговоры и пересуды по его адресу.

Ссорившиеся муж и жена теперь старались сосредоточить неизрасходованный запас нежных чувств на детях, причем встрети-

ли самую отчаянную конкуренцию со стороны бабушки, уцепившейся за внучат с особенною энергией. Ни у одной дочери не было детей, кроме Серафимы. У писарши Анны родились двое, но скоро умерли. Баловнем Анфусы Гавриловны сделалась самая младшая девочка, Катя, напомнившая бабушке умершую дочь Марью. Вот такая же была, как две капли воды. Открылась старая материнская рана, и Анфуса Гавриловна горько плакала, вспоминая мертвого ребенка. Это проснувшееся материнское горе точно было заслонено все время заботами о живых детях, а теперь все уже были на своих ногах, и она могла отдаться своему чувству. Старушке делалось даже страшно, когда она подолгу и пристально вглядывалась в Катю: вот точь-в-точь такая же была Маня, так же смеялась и так же смотрела. Входя в роль матери, Анфуса Гавриловна искренне удивлялась, что Катя зовет мамой не ее, а дочь Серафиму.

К детям же прильнула рыхлая и по наружному виду апатичная Агния. Девушка сначала долго присматривалась к детям, точно не верила чему-то, такому теплому и хорошему,

так тепло и хорошо накипавшему на ее душе. В этой девушке проснулось неудоволетворенное и неиспытанное материнство, которое даже пугало ее. И странно, что дети льнули инстинктивно к ней гораздо больше, чем к бабушке. Огорченная Анфуса Гавриловна серьезно ссорилась с Агнией и употребляла разные дипломатические хитрости, чтоб устранить ее. Несколько раз мать и дочь предъявляли взаимные претензии Серафиме, как матери.

— Да возьмите их хоть совсем, — равнодушно отвечала Серафима. — Вам в охоту с чужими детьми поводиться.

Галактион был другого мнения и стоял за бабушку. Он не мог простить Агнии воображаемой измены и держал себя так, точно ее и на свете никогда не существовало. Девушка чувствовала это пренебрежение, понимала источник его происхождения и огорчалась молча про себя. Она очень любила Галактиона и почему-то думала, что именно она будет ему нужна. Раз она даже сделала робкую попытку объясниться с ним по этому поводу.

— Ты напрасно думаешь, Галактион, что я

про тебя писала Симе.

— Хорошо, хорошо. Все вы на одну стать, — грубо ответил Галактион. — И цена вам всем одна. Только бы вырваться мне от вас.

— Грешно тебе, Галактион.

— Молчи лучше, сплетница! Говорить-то с тобой противно!

Агния молча проглотила эту обиду и все-таки не переставала любить Галактиона. В их доме он один являлся настоящим мужчиной, и она любила в нем именно этого мужчину, который делает дом. Она тянулась к нему с инстинктом здоровой, неиспорченной натуры, как растение тянется к свету. Даже грубая несправедливость Галактиона не оттолкнула ее, а точно еще больше привязала. Даже Анфуса Гавриловна заметила это тяготение и сделала ей строгий выговор.

— Ты у меня смотри, тихоня... Погляди на себя в зеркало-то, на рожу свою. Только мать срамишь, бесстыдница!

Про себя Агния решила давно, что она останется незамужницей и уйдет от грешного мира куда-нибудь в скиты замаливать чужие грехи.

Дела Галактиона шли по прежнему. Бубновский конкурс мог тянуться бесконечно. Но его интересовал больше всех устав нового банка, который писал Штофф. По этому делу Галактион несколько раз был у Стабровского, где велись предварительные обсуждения этого устава, причем Стабровский обязательно вызывал Ечкина. Этот странный человек делал самые ценные замечания, и Стабровский приходил в восторг.

— Ах, Борис Яковлич, вы будете у нас министром финансов! — повторял хитрый пан. — Этакая удивительная голова!

Галактион прежде всего испытывал какое-то ребячье смущение в кабинете Стабровского, где так свободно и просто делались миллионные дела. Он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, потому что в первый раз лицом к лицу встретился с настоящими большими дельцами, рассуждавшими о миллионах с таким же равнодушием, как другие говорят о двугривенном. С уставом, когда он был совсем готов, вышло неожиданное затруднение: из числа учредителей старик Луковников отказался наотрез его подписать.

Как старика ни уламывали, из этого ничего не вышло.

— Неподходящее дело, — повторял упрямый старик.

Старик Стабровский был серьезно возмущен, но не выдал себя ни одним движением.

— Может быть, Тарас Семеныч, вы сами впоследствии пожалеете о своем отказе, — говорил он.

— Уж это как бог даст... — упрямо повторял старик.

В числе консультантов большую силу имел Мышников; он был единственным представителем юриспруденции и держал себя с достоинством. Только Ечкин время от времени «подковывал» его каким-нибудь замечанием, а другие скромно соглашались. В последнем совещательном заседании принимали участие татарин Шахма и Евграф Огибенин.

— Гуляй банк! — повторял Шахма. — Одна рука брал, другая рука давал... Обе барыша получал.

Штофф измучился с уставом до смерти, и когда, наконец, все было оформлено и подпи-

сано, он проговорил, обращаясь к Галактиону:

— Ну, голубчик, я устал... Надо отдохнуть. Знаешь, что мы сделаем? Ну, да об этом потом поговорим.

Отдых Штоффа скоро объяснился. Он пригласил Галактиона съездить вместе в бубновский винокуренный завод для какой-то внезапной ревизии. Когда выехали вечером из Заполья, Штофф неожиданно заявил кучеру:

— Поворачивай в Кунару.

Кунара была подгородная деревушка, куда купцы ездили кутить. Там теперь шли деревенские посиделки и супрядки.

— Надо будет произвести неожиданную и самую строгую ревизию, — смеялся Штофф, хлопая Галактиона по плечу.

— Карл Карлыч, оно того... Еще узнают дома.

— Э, вздор!.. Никто и ничего не узнает. Да ты в первый раз, что ли, в Кунару едешь? Вот чудак. Уж хуже, брат, того, что про тебя говорят, все равно не скажут. Ты думаешь, что никто не знает, как тебя дома-то золотят? Весь город знает... Ну, да все это пустяки.

Немец попал в самое больное место, и Галактион угрюмо замолчал.

Скоро замелькали желтые огоньки потонувшей в глубоком снегу Кунары. Деревня была небольшая, но богатая, как все раскольничьи деревни. Она пользовалась плохою репутацией, как притон бродяг. Искони здесь утвердился своеобразный кустарный промысел приготовления домашним способом ассигнаций. Потом эти «кунарские деньги» уходили в безграмотную орду.

— К Спиридону! — командовал Штофф.

Кошевая остановилась у большой новой избы. В волоковое окно выглянула мужская голова и без опроса скрылась. Распахнулись сами собой шатровые ворота, и кошевая очутилась в темном крытом дворе. Встречать гостей вышел сам хозяин, лысый и седой старик. Это и был Спиридон, известный всему Заполью.

— Карлу Карлычу, сто лет не видались, — певуче говорил Спиридон. — А это кто с тобой будет?

— Да так... Тоже из немцев.

Они прошли в новую заднюю избу, где за

столом сидел какой-то низенький, черный, как жук, старик. Спиридон сделал ему головой какой-то знак, и старик вышел. Галактиону показалось, что он где-то его видел, но где — не мог припомнить.

— Милости просим, дорогие гости, — повторял Спиридон, тяжело шмыгая больными ногами; он ужасно напоминал загнанную и опоенную лошадь.

На помощь старику явилась его жена, высокая, худая старуха с злыми глазами.

— Ну, бабушка, сердце повеселить приехали, — говорил Штофф. — Ну, что у вас тут нового?

— Есть и новое, Карла Карлыч... Хороша девушка объявилась у Маркотиных. И ростом взяла, и из себя уж столь бела... Матреной звать. Недавно тут Илья Фирсыч наезжал, тот вот как обихаживал с ней вприсядку. Лебедь белая, а не девка.

«Двоеданы»[46], то есть раскольники, отличались вообще красотой, не в пример православному населению.

Дальше вынесли из кошевой несколько кульков и целую корзину с винами, — у

Штоффа все было обдумано и приготовлено. Галактион с каким-то ожесточением принялся за водку, точно хотел кому досадить. Он быстро захмелел, и дальнейшие события происходили точно в каком-то тумане. Какие-то девки пели песни, Штофф плясал русскую, а знаменитая красавица Матрена сидела рядом с Галактионом и обнимала его точеною белою рукой.

— Откуда ты взялся-то, мил-хороший? — шептала она.

Потом послышался какой-то стук, кто-то кричал в сенях, а в заключение в избу ворвался пьяный Лиодор.

— А, вот вы где, милые зятюшки! — гаркнул он, кидаясь на Штоффа с кулаками.

Произошла свалка. Кто-то кого-то бил, девки бросились из избы, а Штофф спрятался под стол.

Глава 22

Встреча с Лиодором в Кунаре окончательно вырешила дело. Галактион дальше не мог оставаться у тестя. Он нанял себе небольшую квартирку за хлебным рынком и переехал туда с семьей. Благодаря бубновскому конкурсу

он мог теперь прожить до открытия банка, когда Штофф обещал ему место члена правления с жалованьем в пять тысяч.

— А что касается нашей встречи с Лиодором, то этому никто не поверит, — успокаивал немец. — Кто не знает, что Лиодор разбойник и что ему ничего не значит оговорить кого угодно? Одним словом, пустяки.

Прищурив один глаз и прищелкнув языком, Штофф прибавил:

— Бабец-то, Матрена эта самая, ничего... хе-хе!..

Галактион ничего не отвечал на эти заигрыванья. Он дал себе слово ничего не пить и не путаться с веселою компанией. Да и характер у него был совсем не такой, а вышло все как-то так, само собой. Поездка в Кунару в малыгинской семье вызвала целую бурю. Анфуса Гавриловна плакала целую неделю и даже не пожелала проститься с зятем, когда он переезжал на новую квартиру. Зато Харитон Артемьич, сам время от времени покучивавший у двоеданов, радовался от чистого сердца. Вот тебе и непьющий зять... Ловко его немец поддел, да и Лиодорка охулки на руку не поло-

жил. Наткнулись зятья на ерша.

Заступницами Галактиона явились Евлампия и Харитина. Первая не хотела верить, чтобы муж был в Кунаре, а вторая старалась оправдать Галактиона при помощи системы разных косвенных доказательств. Ну, если б и съездили в Кунару — велика беда! Кто там из запольских купцов не бывал? Тятеньку Харитона Артемьича привозили прямо замертво.

— Вам-то какая забота припала? — накидывалась Анфуса Гавриловна на непрошеных заступниц. — Лучше бы за собой-то смотрели... Только и знаете, что хвостами вертите. Вот я сдеру шляпки-то, да как примусь обихаживать.

Евлампия обиделась и уехала, не простившись с матерью. А Харитина не унялась. Она прямо от матери отправилась к Галактиону. Ее появление до того изумило Серафиму, что она не могла выговорить слова.

— Ну, квартирку-то могли бы и получше найти, — как ни в чем не бывало, советовала Харитина, оглядывая комнаты. — Ты-то чего смотрела, Сима?

— Ах, мне все равно!

Харитина разделась, полюбовалась хорошенькими ребятишками и потом без всяких подходов проговорила:

— Вот что, Сима, ты на меня сердишься?

— И не думала.

— Ну, перестань. Я знаю, что сердишься. А только напрасно... Я тебе зла не жалаю, и мне ничего твоего не нужно. Своего достаточно.

От этого намека некрасивое лицо Серафимы покрылось красными пятнами, губы задрожали, и она крикнула сдавленным голосом:

— Вон, мерзавка! И видеть тебя не желаю... Ты у нас в семье какая-то проклятая уродилась. Вон... вон!.. Я знаю, что ты такое!

Спокойно посмотрев на сестру своими странными глазами, Харитина молча ушла в переднюю, молча оделась и молча вышла на улицу, где ее ждал свой собственный рысак. Она ехала и горько улыбалась. Вот и дождалась награды за свою жалость. «Что же, на свете всегда так бывает», — философствовала она, пряча нос в новый соболий воротник.

Невесело было новоселье Галактиона. Жена упорно молчала, молчал и он, потому что

нечего было говорить. Она его ни в чем не обвиняла, он ни в чем не оправдывался, да и трудно было бы оправдываться. Его охватывало жгучее раскаяние только при виде детей, на которых больше всего сказывался тяжелый семейный разлад. Опять Галактион думал о Харитине, — разве она так бы сделала? Стала бы плакать, ругаться, убежала бы из дому, наконец ударила бы чем ни попадя и все-таки не стала бы опалы тянуть. Да, он был два раза неправ относительно жены, но и другие мужья не лучше, а еще хуже. У него являлось желание помириться с женой, рассказать ей всю чистую правду, но стоило взглянуть на ее убитое лицо, как всякое желание пропадало. Страшная тоска охватывала Галактиона, и он начинал чувствовать себя чужим человеком в собственном доме. Теперь он был рад всякому случаю уйти куда-нибудь из дому и с особенной энергией принялся за бубновский процесс. Галактион начинал побаиваться, как бы не запутаться с этим делом в чужих плутнях. Кураторы все ловкий народ, сухими из воды выйдут, а его как раз утопят.

У Бубновых в доме было по прежнему. Та

же Прасковья Ивановна, тот же доктор, тот же умильный братец и тот же пивший мертвую хозяин. В последнее время Прасковья Ивановна как-то особенно ласково заглядывала на Галактиона и каждый раз упрашивала его остаться или как-нибудь посидеть вечерком.

— Мне некогда, — отговаривался Галактион.

— Ну, ну, бука!.. Разве отказывают кавалеры, когда дама просит?

— Какой я кавалер, Прасковья Ивановна? Неподходящее дело.

— Хорошо. Тогда я иначе буду поступать: не отпущу домой, и все тут. Ведь драться не будете?

Несколько раз она удерживала таким образом упрямого гостя, а он догадался только потом, что ей нужно было от него. О чем бы Прасковья Ивановна ни говорила, а в конце концов речь непременно сводилась на Харитину. Галактиону делалось даже неловко, когда Прасковья Ивановна начинала на него смотреть с пытливым лукавством и чуть-чуть улыбалась...

— Она красавица, — уверяла Прасковья Ивановна.

— Говорят.

— А вы будто уж и не замечали ничего?

— Да ведь она мне свояченица, Прасковья Ивановна, и замечать не приходится. Пусть уж другие замечают.

— Хорошо, хорошо. Какой вы хороший, Галактион Михеич! А вот она так мне все рассказывала. Чуть не отравилась из-за вас. Откуда у мужчин такая жестокость?

— Извините меня, а только от глупости, Прасковья Ивановна. Мало ли что девушки придумывают, а замуж выйдут — все и пройдет.

— А помните, как на мельнице она вас целовала?

— Это ей во сне приснилось.

— Ведь она не говорит, что вы ее целовали. Ах, какой вы скрытный! Ну, уж я вам, так и быть, сама скажу: очень вам нравится Харитина. Конечно, родня, немножко совестно.

Раз Прасковья Ивановна заставила Галактиона проводить ее в клуб. Это было уже на святках. Штофф устроил какой-то семей-

но-танцевальный вечер с туманными картинами, и Прасковья Ивановна непременно желала быть там. Штофф давно приглашал Галактиона в этот клуб, но он все отказывался под разными предлогами, а тут пришлось ехать поневоле.

Дорогой Прасковья Ивановна ни с того ни с сего расшалилась. Она сама прижалась к Галактиону и шепнула:

— Ах, какой вы!.. Держите меня крепче!

Лицо у нее разгорелось от мороза, и она заглядывала ему прямо в глаза, улыбающаяся, молодая, красивая, свежая. Он ее крепко обхватил за талию и тоже почувствовал себя так легко и весело.

— Ведь я хорошенькая, да?

— Ничего.

— У, медведь! Разве так отвечают даме? А кто красивее: я или Харитина? Да держите же меня крепче, мямля!

Первым в клубе встретился Штофф и только развел руками, когда увидал Галактиона с дамой под руку. Вмешавшись в толпу, Галактион почувствовал себя еще свободнее. Теперь уже никто не обращал на них внимания.

А Прасковья Ивановна крепко держала его за руку, раскланиваясь направо и налево. В одной зале она остановилась, чтобы поговорить с адвокатом Мышниковым, посмотревшим на Галактиона с удивлением.

— Мы сегодня кутим, — объясняла ему Прасковья Ивановна, играя глазами.

— А вам весело?

— Ничего... Так себе, — лениво ответил адвокат, ежа плечи. — Мы еще увидимся, Прасковья Ивановна.

— Почему вы всегда бежите от меня? Неужели уж я такая старая и страшная?

Адвокат ничего не ответил, а только еще раз пожал плечами и с улыбкой посмотрел на Галактиона. Происходило что-то непонятное для последнего, и он начинал испытывать смущение.

Клуб был маленький, и комнаты не были еще отделаны с надлежащей клубною роскошью. Играл плохонький еврейский оркестр. Но невзыскательная запольская публика, наскучавшаяся у себя дома, была рада и этому, особенно дамы.

— Подождите меня здесь, — сказала Прас-

ковья Ивановна, останавливаясь у дамской уборной. — Я сейчас.

Здесь Галактиона нашла Харитина. Она шла, обмахиваясь веером, с развязностью и шиком настоящей клубной дамы. Великолепное шелковое платье тащилось длинным шлейфом, декольтированные плечи, голые руки — все было в порядке. Но красивое лицо было бледно и встревожено. Она сначала прошла мимо, не узнав Галактиона, а потом вернулась и строго спросила:

— Скажи, пожалуйста, ты-то зачем здесь? Впрочем, я видела, как ты разгуливаешь с Пашенькой. Ах ты, глупенький глупенький!.. Ну, давай, делай руку кренделем!

— А у меня ведь своя дама есть. Кажется, не полагается ее оставлять одну.

— Хорошо, не беспокойся. Она обойдется и без тебя, а мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, да...

Она нахмурила брови и потащила Галактиона в самую дальнюю комнату, где усадила в укромный уголок, и заговорила:

— Вот я здесь только что сидела с Мышниковым... да. И он объяснялся мне в любви...

Мне все признаются в любви. Ну, Мышников-то долго ходил около меня, а потом и не выдержал. Понимаешь, я сама виновата... Грешным делом, сильно кокетничала с ним. Ведь умный человек, а того не понимает, что я его не люблю, а просто извожу для собственного удовольствия. Схватил меня за руку, сам весь дрожит, глаза горят... И какой дерзкий... Ну, я сейчас: «Милостивый государь, за кого вы меня принимаете? Кажется, вы ошиблись адресом...» Озлился, побледнел... А потом и говорит: «Мне это хороший урок, а вы меня вспомните, Харитина Харитоновна». Вот ведь какой злюка!.. А разве я обязана всех любить? Ну, теперь он будет мне мстить.

— Что же он может с тобой сделать?

— Не знаю, я только боюсь... Мне даже домой хочется уехать. Ты знаешь, доктор у меня нашел болезнь: нервы.

Харитина действительно волновалась, и в голосе у нее слышались слезы. Галактион сидел с опущенными глазами, кусая губы.

— Что же ты молчишь? — неожиданно накинулась на него Харитина. — Ты мужчина... Наконец, ты не чужой человек. Ну, говори

что-нибудь!

— Что же я тебе скажу, когда ты сама кругом виновата. Вперед не кокетничай. Веди себя серьезно.

Этого было достаточно, чтобы Харитина вышла из себя и обрушилась на него целым градом попреков.

— И это ты мне говоришь, Галактион?.. А кто сейчас дурака валял с Бубнихой?.. Ведь она тебя нарочно затащила в клуб, чтобы показать Мышникову, будто ты ухаживаешь за ней.

Галактион ничего не понимал.

— Да что я с тобой буду делать? — взмолилась Харитина в отчаянии. — Да ты совсем глуп... ах, как ты глуп!.. Пашенька влюблена в Мышникова, как кошка, — понимаешь? А он ухаживает за мной, — понимаешь? Вот она и придумала возбудить в нем ревность: дескать, посмотри, как другие кавалеры ухаживают за мной. Нет, ты глуп, Галактион, а я считала тебя умнее.

— Каков уж есть. Знаю только одно, что мне здесь нечего делать.

— Нет, постой!.. А как ты со мной посту-

пил, а?

— Никак я не поступал.

— Не ври... Ведь ты знаешь, что твоя жена меня выгнала вон из дому и еще намекнула, за кого она меня считает.

— При чем же я тут? Вы будете ссориться, а я отвечай.

— Дурак! Из-за тебя я пострадала... И словечка не сказала, а повернулась и вышла. Она меня, Симка, ловко отзолотила. Откуда прыть взялась у кислятины... Если б ты был настоящий мужчина, так ты приехал бы ко мне в тот же день и прощения попросил. Я целый вечер тебя ждала и даже приготовилась обморок разыграть... Ну, это все пустяки, а вот ты дома себя дурак дураком держишь. Помирись с женой... Слышишь? А когда помиришься, приезжай мне сказать.

Галактион поднялся и хотел уйти. Он разозлился на болтовню Харитины, да и делать ему было нечего. Она опять удержала его, взяла за руку и проговорила усталым голосом:

— Проводи меня домой... Все равно — тебе зараз отвечать: в Кунаре кутил, Бубниху привез в клуб, а из клуба увез Харитину.

Одеваясь в передней, Харитина несколько раз повторяла:

— А он мне будет мстить... да.

Глава 23

Каждому человеку присвоена своя психология, и таковая была также и у исправника Полуянова. Он служил давно и, что называется, набил руку. Особенно развернулся он в Запольском уезде, где являлся грозой. Начальство поощряло эту усердную службу, и Полуянов благоденствовал. Получал он жалованья что-то около трех тысяч, а проживал двенадцать. Все это знали и смотрели снисходительно, потому что прямых взяток Полуянов не брал, а только принимал иногда «благодарности». С женитьбой на Харитине расходы возросли, а с открытием клуба в Заполье тем более. Пришлось прибегать к экстраординарным мерам. Изобретательность Полуянова достигла своего апогея. В одной деревне он увидел лежавший в поле громадный валун, тысяч в пять пудов, и объявил, что такую редкость необходимо отправить в Петербург на обывательских подводах. Мужики пришли в ужас и стали откупаться от проклятой редко-

сти гривенником с души. Это была настоящая дань. В другой деревне Полуянов с этою же целью опечатал целое озеро, то есть взял веревку, спустил один конец в воду, а другой припечатал к вбитому на берегу колу. Озеро давало мужикам до десяти тысяч рублей дохода ежегодно, и за распечатание Полуянов стал получать половину. Обложены были данью все деревенские торжки, натуральная повинность по исправлению тракта, винокуренные заводы, мельницы и всякое проявление пытливого промышленного и торгового духа. Но особенно налег Полуянов на мертвые тела. Убитый или скоропостижно умерший являлся настоящим кладом. Исправник морил мужиков в качестве понятых и, приняв мзду, вез тело в следующий пункт, чтобы получить и здесь откуп. Одно такое мертвое тело он возил чуть не по всему уезду и по пути завез на мельницу к Ермилычу, а когда Ермилыч откупился, тело очутилось на погребе попа Макара.

В течение целых пятнадцати лет все художества сходили Полуянову с рук вполне благополучно, а робкие проявления протеста за-

канчивались тем, что жалобщики и обиженные должны были выкупать свою строптивость новою данью. Одним словом, все привыкли к художествам Полуянова, считая их неизбежным злом, как градобитие, а сам Полуянов привык к этому оригинальному режиму еще больше. Но с последним казусом вышла большая заминка. Нужно же было сибирскому исправнику наскочить на упрямого сибирского попа.

В одно прекрасное утро была запряжена заслуженная кобыла, и поп Макар покатил в Заполье. Здесь он прежде всего толкнулся к соборному протопопу, с которым вместе учился в семинарии, и по пунктам изложил нанесенную Полуяновым обиду.

— Да, казус, — глубокомысленно согласился протопоп. — Не благопотребно для твоего сана, а, между прочим, того...

— А я, во-первых, буду жаловаться.

— Смотри, отец, чтобы хуже не вышло. Иные нецыи пробовали прати противу рожна и должны были заплатить сугубую мзду за свою излишнюю и неблаговременную строптивость.

— Во-вторых, я никого не боюсь, — смело заявлял суслонский поп. — Я буду обличать нового Ахава...

— А может быть, возможно все кончить по соглашению?

В этих видах поп Макар отправился к старому Луковникову, как к человеку почтенному и облеченному властью. Тарас Семеныч выслушал деревенского попа, покачал головой и заявил:

— Я тут ничего не могу сделать, отец Макар.

— Да вы поговорите с Ахавом, Тарас Семеныч. Может быть, он вас выслушает.

— Попробую.

Эта проба привела только к тому, что Полуянов страшно вспылил.

— Да я этого попишку самого... Да я его в порошок изотру!

— Вам ближе знать, Илья Фирсыч, — политично заметил Луковников. — Я для вашей же пользы говорю... Неровен час, все может быть.

— Ученого учить — только портить, — с гордостью ответил Полуянов, окончательно

озлившийся на дерзкого суслонского попа. — Весь уезд могу одним узлом завязать и отвечать не буду.

Как это ни странно, но до известной степени Полуянов был прав. Да, он принимал благодарности, а что было бы, если б он все правонарушения и казусы выводил на свежую воду? Ведь за каждым что-нибудь было, а он все прикрывал и не выносил сору из избы. Взять хоть ту же скоропостижную девку, которая лежит у попа на погребе: она из Кунары, и есть подозрение, что это работа Лиодорки Малыгина и Пашки Булыгина. Всех можно закрутить так, что ни папы, ни мамы не скажут.

Полный сознания своей правоты, Полуянов и в ус себе не дул. Такие ли дела сходили с рук! Он приберегал теперь Малыгиных и Булыгиных, как постоянную доходную статью. Потом голова его была занята неотступною мыслью, как обработать Шахму: татарин богатый и до сих пор отделывался грошами. У Полуянова явилась смелая мысль пристегнуть к делу о скоропостижной девке вот этого миллионера-татарина, который кутил с

Штоффом в Кунаре. Оставалось восстановить только факт, что он кутал именно с этой девкой. Требовалась тонкая работа. Кстати, эта скоропостижная девка была та самая красавица Матрена, которая обнимала Галактиона. Убитую хитрые двоеданы увезли в другой конец уезда и подбросили к православной деревне.

«Только бы подтянуть к этому делу Шахму, — мечтал Полуянов, хмуря глаза, — растерзали бы мы его на части».

С этой целью Полуянов несколько раз ездил в Кунару, жестоко кутил и наводил справки под рукой. Его бесило главным образом то, что в этой истории замешался проклятый немец Штофф, который, в случае чего, вывернется, как уж. Вся эта сложная комбинация поглощала теперь все внимание Полуянова, и он плевать хотел на какого-то несчастного попа. А тут еще деньги нужны. Проигравшись как-то в клубе в пух и прах, Полуянов на другой день с похмелья отправился к Шахме и без предисловий заявил свои подозрения. Богач-татарин струсил сразу.

— Да, жаль, — повторил Полуянов. — Может быть, ты и не виноват, а затаскают по судам, посадят в тюрьму.

Шахма расступился и отвалил исправнику сразу пять тысяч.

— Одна рука давал, другая не знал, — говорил он.

— Хорошо, хорошо. Увидим.

Разлакомившись легкой добычей, Полуянов захотел проделать такую же штуку с Малыгиными и Булыгиными. Но здесь получилась большая ошибка в расчете. Харитон Артемьич даже обрадовался, когда Полуянов заявил подозрение на Лиодора.

— Он, непременно он, Лиодорка, убил... Хоть сейчас присягу приму. В ножки поклонюсь, ежели ты его куда-нибудь в каторгу определишь. Туда ему и дорога.

— Позвольте, как же вы так говорите, Харитон Артемьич? Ведь он вам все-таки родной сын.

— На свои деньги веревку куплю, только пусть повесится!..

Тесть и зять совершенно забыли, что они родные. Когда Полуянов для ускорения пере-

говоров уже назначил сумму благодарности, Харитон Артемьич опомнился.

— Постой, голова... Да ты куда пришел-то? Ведь я тебе родной тесть прихожусь?.. Есть на тебе крест-то?

— По поговорке: хлебцем вместе, а табачком врозь.

Увлеченный своими планами, Полуянов совершенно забыл о своих родственных отношениях к Малыгиным и Булыгиным, почесал в затылке и только плюнул. Как это раньше он не сообразил?.. Да, бывают удивительные случаи, а все проклятое похмелье. Просто какой-то анекдот. Для восстановления сил тесть и зять напились вместе.

— Вот тебе и зять! — удивлялся Харитон Артемьич. — У меня все зятья такие: большая родня — троюродное наплевать. Ты уж лучше к Булыгиным-то не ходи, только себя осрамишь.

— Что поделаешь? Забыл, — каялся Полуянов. — Ну, молите бога за Харитину, а то ободрал бы я вас всех, как липку. Даже вот бы как ободрал, что и кожу бы с себя сняли.

Хотя Харитон Артемьич и предупредил зя-

тя относительно Булыгиных, а сам не утерпел и под пьяную руку все разболтал в клубе. Очень уж ловкий анекдот выходил. Это происшествие облетело целый город, как молния. Очень уж постарался Илья Фирсыч. Купцы хохотали доупаду. А тут еще суслонский поп ходит по гостиному двору и рассказывает, как Полуянов морозит у него на погребе скоропостижное девичье тело.

Странно, что все эти переговоры и пересуды не доходили только до самого Полуянова. Он, заручившись благодарностью Шахмы, вел теперь сильную игру в клубе. На беду, ему везло счастье, как никогда. Игра шла в клубе в двух комнатах старинного мезонина. Полуянов заложил сам банк в три тысячи и метал. Понтировали Стабровский, Ечкин, Огибенин и Шахма. В числе публики находились Мышников и доктор Кочетов. Игра шла крупная, и Полуянов загребал куши один за другим.

— Вам сегодня везет, как висельнику, — заметил разозлившийся Стабровский.

Именно в этот момент Полуянова вызвали.

— А, черт, умереть спокойно не дадут! — ругался он. — Скажи, чтобы подождали!

Лакей ушел и вернулся.

— Ваше высокоблагородие, Илья Фирсыч, приказано.

— Что-о?

— От следователя.

Произошел небывалый в стенах клуба скандал. Полуянов был взят прямо из-за карточного стола и арестован. Ему не позволили даже заехать домой.

Следователь Куковин был очень непредставительный мужчина, обремененный многочисленным семейством и живший отшельником. Он, кажется, ничего не знал, кроме своих дел.

— Я считаю необходимым подвергнуть вас аресту, господин Полуянов, — сонно заявил следователь, потягиваясь в кресле.

— Вы не имеете права.

— Позвольте мне самому знать мои права... А вас я вызову, когда это будет нужно.

И только всего. Полуянов совершенно растерялся и сразу упал духом. Сколько тысяч людей он заключал в скверный запольский острог, а теперь вот приходится самому. Когда он остался один в камере, — ему предостави-

ли льготу занять отдельную камеру, — то не выдержал и заплакал.

— За что? О господи, за что?.. Ах, все это проклятый суслонский поп наделал!.. Только бы мне освободиться отсюда, уж я бы задал перцу проклятому попу!

Когда на другой день приехал к Харитине встревоженный Галактион, она встретила его довольно равнодушно и лениво проговорила:

— Этого нужно было ожидать... Ах, мне решительно все равно!

— Скверная штука может быть... Ссылка на поселение в лучшем случае.

Харитина что-то соображала про себя, а потом оживленно проговорила:

— Ведь я говорила, что Мышников будет мстить. Это он научил суслонского попа... Ах, какой противный человек, а еще уверял, что любит меня!

Легкомыслие Харитины, как к нему Галактион ни привык, все-таки изумило его. Она или ребенок, или безвозвратно погибшая женщина. Его начинало коробить.

— Послушай, Харитина, поговорим серьезно... Ведь надо чем-нибудь жить. Есть у вас

что-нибудь про черный день?

— Муж говорил, что, когда умрет, я буду получать пенсию.

— И только? Теперь нечего и думать о пенсии. Ну, значит, тебе придется идти к отцу.

— Благодарю покорно... Никогда! Я лучше на содержание к Мышникову пойду.

— Перестань болтать глупости. Нужно обсудить дело серьезно... Да, серьезно.

— Что тут обсуждать, когда я все равно ничего не понимаю? Такую дуру вырастили тятенька с маменькой... А знаешь что? Я проживу не хуже, чем теперь... да. Будут у меня руки целовать, только бы я жила по прежнему. Это уж не Мышников сделает, нет... А знаешь, кто?

— Ничего я не знаю.

— Ступай и посмотри в зеркало.

Харитина засмеялась и выбежала из комнаты, а Галактион действительно подошел к зеркалу и долго смотрел в него. Его лицо тоже искривилось улыбкой, — он вспомнил про детей.

«Нет, никогда этому не бывать, Харитина Харитоновна!» — сказал он самому себе, по-

вернулся и вышел.

На лестнице он встретил полицию, явившуюся опечатывать имущество Полуянова.

Глава 24

Арест Полуянова и следствие по этому делу заняли все внимание Заполья и всего Запольского уезда. Ничего подобного еще не случалось до сих пор. Выплыла целая серия мелких плутней, подлогов, вымогательств, всяческих правонарушений и побоев без конца. Появилась даже в столичных газетах длинная корреспонденция о деле Полуянова, причем неизвестный корреспондент намекал, что это дело служит только к целому ряду других, которые Полуянов покрывал «из благодарности». Между прочим, был намек и на бубновский конкурс. Эта корреспонденция была ударом грома. Все переполошились окончательно. Главное, кто мог написать все это? Где корреспондент? А несомненно должен быть, и несомненно — свой человек, знавший всю подноготную Заполья.

— Это он только сначала о Полуянове, а потом и до других доберется, — толковали купцы. — Что же это такое будет-то? Раньше жи-

ли себе, и никому дела до нас не было... Ну, там пожар, неурожай, холера, а от корреспондента до сих пор бог миловал. Растерзать его мало, этого самого корреспондента.

Явилось предположение, что писал кто-нибудь «из поляков» или «из жидов», — народ известный. От полуяновского-то дела никому не поздоровится, ежели начнут делать переборку.

Бубновский конкурс встревожил больше всех Галактиона.

— Э, вздор! — успокаивал Штофф. — Черт дернул Илюшку связаться с попом. Вот теперь и расхлебывай... Слышал, Шахма-то как отличился у следователя? Все начистоту ляпнул. Ведь все равно не получит своих пять тысяч, толстый дурак... Ну, и молчал бы, а то только самого себя осрамил.

Галактион понимал только одно, что не сегодня-завтра все конкурсные плутни выплывут на свежую воду и что нужно убираться отсюда подобру-поздорову. Штоффу он начинал не доверять. Очень уж хитер немец. Вот только бы банк поскорее открыли. Хлопоты по утверждению банковского устава вел в Пе-

тербурге Ечкин и писал, что все идет отлично.

Несколько раз Галактион хотел отказаться от конкурса, но все откладывал, — и жить чем-нибудь нужно, и другие члены конкурса рассердятся. Вообще, как ни кинь — все клин. У Бубновых теперь Галактион бывал совсем редко, и Прасковья Ивановна сердилась на него.

— Впрочем, вам теперь много хлопот с Харитиной, — язвила она с женскою жестокостью. — У нее только и осталось, что дала ей природа.

— Прасковья Ивановна, вы забываете, что Харитина — моя близкая родственница и что она сейчас в таком положении...

— Да? Скажите, пожалуйста, а я и не подозревала, что она в таком положении... Значит, вам предстоят новые хлопоты.

Ей нравилось сердить Галактиона, и эта игра увлекала ее. Очень красиво, когда настоящий мужчина сердится, — так бы, кажется, в мелкие крошки расшиб, а только вот по закону этого не полагается. Раз, увлекшись этою игрой, Прасковья Ивановна даже испугалась.

— Да вы меня и в самом деле ударите, — говорила она, отодвигая свое кресло. — Слава богу, что я не ваша жена.

Галактион был бледен и смотрел на нее остановившимися глазами, тяжело переводя дух. «Ах, какой он милый! — восхищалась Прасковья Ивановна, сама деспот в душе. — Это какой-то тигр, а не мужчина!»

Поведение Прасковьи Ивановны положительно отталкивало Галактиона, тем более что ему решительно было не до любовных утех. Достаточно было одного домашнего ада, а тут еще приходится заботиться о сумасбродной Харитине. Она, например, ни за что не хотела выезжать из своей квартиры, где все было описано, кроме ее приданого.

— Буду здесь жить, и конец! — повторяла она. — Пусть и меня описывают!

Она дошла до того, что принялась тосковать о муже и даже плакала. И добрый-то он, и любил ее, и напрасно за других страдает. Галактиону приходилось теперь частенько ездить с ней в острог на свидания с Полуяновым, и он поневоле делался свидетелем самых нежных супружеских сцен, причем По-

луянов плакал, как ребенок.

— Он из-за меня страдает, — повторяла Харитина. — Из-за меня Мышников подвел его.

Полуянов в какой-нибудь месяц страшно изменился, начиная с того, что уже по необходимости не мог ничего пить. С лица спал пьяный опух, и он казался старше на целых десять лет. Но всего удивительнее было его душевное настроение, складывавшееся из двух неравных частей: с одной стороны — какое-то детское отчаяние, сопровождавшееся слезами, а с другой — моменты сумасшедшей ярости.

— Ведь я младенец сравнительно с другими, — уверял он Галактиона, колотя себя в грудь. — Ну, брал... ну, что же из этого? Ведь по грошам брал, и даже стыдно вспоминать, а кругом воровали на сотни тысяч. Ах, если б я только мог рассказать все!.. И все они правы, а я вот сижу. Да это что... Моя песня спета. Будет, поцарствовал. Одного бы только желал, чтобы меня выпустили на свободу всего на одну неделю: первым делом убил бы попа Макара, а вторым — Мышникова. Рядом бы и положил обоих.

Странно, что первый об утверждении устава нового банка сообщил Галактиону в остроге Полуянов и тут же предупредил:

— Ну, я скажу тебе, голубчик, по секрету, ты далеко пойдешь... Очень далеко. Теперь ваше время... да. Только помни старого сибирского волка, исправника Полуянова: такова бывает превратность судьбы. Был человек — и нет человека.

Эта новость была отпразднована у Стабровского на широкую ногу. Галактион еще в первый раз принимал участие в таком пире и мог только удивляться, откуда берутся у Стабровского деньги. Обед стоил на плохой конец рублей триста, — сумма, по тугой купеческой арифметике, очень солидная. Ели, пили, говорили речи, поздравляли друг друга и в заключение послали благодарственную телеграмму Ечкину. Галактион, как ни старался не пить, но это было невозможно. Хозяин так умел просить, что приходилось только пить.

— Ведь вы только представьте себе, господа, — кричал Штофф, — мы поднимаем целый край. Мертвые капиталы получают движение, возрождается несуществовавшая в крае

промышленность, торговля оживляется, земледелие процветает. Одним словом, это... это... это — воскресение из мертвых!

Кто-то даже припомнил, что для полноты торжества недостает только Полуянова, и пьяные дельцы будущего банка выпили даже за его здоровье.

Галактион вышел от Стабровского с каким-то сладким туманом в голове. Он долго стоял на подъезде, слегка пошатываясь и не зная, куда ему идти с таким настроением. Куда угодно, но только не домой. Там уныние, тоска, убитое лицо жены... Он припомнил, что бросает бубновский конкурс, следовательно, должен предупредить Прасковью Ивановну. Давно желанный момент наступил. Да, теперь уж ему не нужно будет ездить в бубновский дом и принимать за это всяческие неприятности дома, а главное — вечно бояться. Слова Полуянова стали перед ним живьем.

Прасковья Ивановна, по обыкновению, была дома и посмотрела с удивлением на Галактиона, который вошел к ней с необычною развязностью.

— Вы где-то веселились, Галактион Михеич?

— Да, немножко обрадовались, Прасковья Ивановна... да. Вот заехал к вам объявить, что кончено, выхожу из вашего конкурса... да. Свое дело будет, — некогда.

Она смотрела на него и не узнавала. Видимо, что человек много выпил, но что значит выпивка такому цветущему молодому мужчине?

— Вы садитесь вот сюда, рядом со мной, и потолкуем, — предложила она.

— Меня удивляет ваша радость. Вы ведь рады именно потому, что, наконец, избавляетесь от меня, да? А только нужно спросить и меня: а может быть, я не согласна?

— То есть как же это так не согласны?

— Да так. Возьму и не отпущу.

Он засмеялся и взял ее за руку.

— Уж это вы кого другого не отпускайте, Прасковья Ивановна, а я-то в таких делах ни при чем.

— Да, я знаю, что вам все равно, — как-то печально ответила она, опуская глаза. — Что же делать, силою милому не быть. А я-то ду-

мала... Ну, да это все равно — что я думала!

— Нет, вы скажите, что вы думали?

Он крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула от боли. Потом она хотела подняться со своего стула, но он удержал ее и засмеялся.

— Раньше вы со мной шутки шутили... да, — шептал он. — Помните? Ну, да это все равно... Видите, как у нас дело-то сошлось: вам все равно и мне все равно.

Вечером поздно Серафима получила записку мужа, что он по неотложному делу должен уехать из Заполья дня на два. Это еще было в первый раз, что Галактион не зашел проститься даже с детьми. Женское сердце почуяло какую-то неминуемую беду, и первая мысль у Серафимы была о сестре Харитине. Там Галактион, и негде ему больше быть... Дети спали. Серафима накинула шубку и пешком отправилась к полуяновской квартире. Там еще был свет, и Серафима видела в окно, что сестра сидит у лампы с Агнией. Незачем было и заходить.

Ужасная была эта первая ночь. Серафима больше не верила мужу и переживала теперь

жгучую боль. Да, он теперь радуется с другой, а постылая жена убивается одна-одинешенька. Тихо-тихо в квартире. Слышно, как сердце бьется. Ну что же, разлюбил, бросил ее, а как же детей не жаль, как не стыдно будет им-то в глаза смотреть?.. И за что? Да и горе такое, что и рассказать про него трудно кому-нибудь, даже родной матери. Видела Серафима таких постылых жен и вперед рисовала себе то неприглядное будущее, которое ее ожидало. А она-то как его любила!.. Как хорошо они жили там, на мельнице!.. И еще она же сама желала переехать в город, чтобы здесь веселиться и жить, как все другие живут. Хорошо веселье, нечего сказать!.. Серафима проплакала всю ночь, стоя у окна и поджидая, не подъедет ли он, тот, кому она отдала всю душу.

Галактион вернулся домой только вечером на другой день. Серафима бросилась к окну и видела, как от ворот отъезжал извозчик. Для нее теперь было все ясно. Он вошел сердитый, вперед приготовившись к неприятной сцене.

— Ну, что, как Бубниха поживает? — спросила Серафима, не выдержав.

— Тебе кланяется.

— У нее ночевал?

Вместо ответа Галактион размахнулся и ударил жену по лицу. Она вскрикнула и присела. Его охватило внезапное бешенство, и он схватил ее за плечо. Но в этот момент в дверях показался какой-то старик небольшого роста, в раскольничьем полукафтанье. Взглянув на него, Галактион так и обомлел: это был тот самый старик, черный, как жук, которого он тогда встретил в Кунаре у двоедана Спиридона. Теперь он его узнал, — старик бывал еще у отца на заводах, куда приезжал откуда-то из скитов. Он пользовался громкою популярностью, как человек святой жизни и прозорливец.

— Галактион Михеич, иди-ка сюда... — коротко произнес старец.

Галактиону вдруг захотелось обругать и выгнать старца, но вместо этого он покорно пошел за ним в боковую комнату, заменявшую ему кабинет. За ними ворвалась Серафима и каким-то хриплым голосом крикнула:

— Бей... ну, бей!.. Будет лучше, если убьешь... и вместе с детьми...

Потом она зарыдала, начала причитать, и старик вежливо вывел ее из комнаты. Галактион присел к письменному столу и схватился за голову. У него все ходило ходенем перед глазами, точно шатался весь дом. Старик вернулся, обошел его неслышными шагами и сел напротив...

— Галактион Михеич...

— Ну, что тебе нужно? — отозвался грубо Галактион.

— А ты не сердитуй, миленький... Сам кругом виноват. На себя сердишься... Нехорошо, вот что я тебе скажу, миленький!.. Затемнил ты образ нескверного брачного жития... да. От скверны пришел и скверну в себе принес. Свое-то гнездо постылишь, подружию слезишь и чад милых не жалеешь... Вот что я тебе скажу, миленький!.. Откуда пришел-то?

— Где был, там ничего не осталось.

— А остуду-то с собой захватил, миленький? Домашний-то грех побольше будет стороннего... Яко червь точит день и ночь.

Старик пересел рядом с Галактионом и заговорил тихим ласковым голосом:

— Свое-то маленькое бросил, Галактион

Михеич, а за большим чужим погнался. С бритоусыми и табашниками начал знаться, с жидами и немцами смесился... Они-то, как волки, пришли к нам, а ты в ихнюю стаю забежал... Ох, нехорошо, Галактион Михеич! Ох, велики наши грехи, и конца им нет!.. Зачем подружию милую обидел? Чадо милое, не лютуй, не злобься, не впадайся в ненужную ярость, ибо великий ответ дадим на великом судилище христове...

Галактион закрыл лицо руками и рыдал.

— Дедушка, сам не знаю, что со мной делается...

Часть III

Глава 25

Перед Ильиным днем поп Макар устраивал «помочь». На покос выходило до полуторых сот косцов. Мужики любили попа Макара и не отказывались поработать денек. Да и как было не поработать, когда поп Макар крестил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был похоронить? За глаза говорили про попа то и се, а на деле выходило другое. Теперь в особенности популярность попа Макара выросла благодаря свержению ига исправника Полуянова.

— Никто же не смел ему препятствовать, исправнику, — говорили между собой мужики, — а поп Макар устиг и в тюрьму посадил... Это все одно, что медведю зубы лечить.

Недоволен был только сам поп Макар, которому уже досталось на орехи от некоторых властодержцев. Его корили, зачем погубил такого человека, и пугали судом, когда потребуют свидетелем. Даже такие друзья, как писарь Замараев и мельник Ермилыч, заметно косились на попа и прямо высказывали свое

неудовольствие.

— Ты бы то подумал, поп, — пенял писарь, — ну, пришлют нового исправника, а он будет еще хуже. К этому-то уж мы все привесились, вызнали всякую его повадку, а к новому-то не будешь знать, с которой стороны и подойти. Этот нащечился, а новый-то приедет голенький да голодный, пока насосется.

— А ежели он, во-первых, хотел взятку с меня вымогать? — слабо оправдывался поп. — Где это показано, штобы с попов взятки-то брали?

— Ах, ты какой!.. — удивлялся писарь. — Да ведь ежели разобрать правильно, так все мы у батюшки-то царя воры и взяточники. Правду надо говорить... Пчелка, и та взятку берет.

Нашлись доброхоты и заступники, которые припоминали за Полуяновым немало добра. Конечно, все дело по сравнению с другими. Другие-то разве лучше? Дай-ка им такую силу, так и не то бы наделали. Крут был Полуянов, да зато отходчив: расказнит и тут же помилует. А главное то, что был орел орлом. С налету все брал. Складывалась о Полуя-

нове живая легенда, и никто не хотел верить, что его засудят. Судьи-то разве слепые? Судить, так всех суди, а не одного Полуянова. Мало ли греха наберется, а за всех отвечай Полуянов один.

Когда мельник Ермилыч заслышал о поповской помочи, то сейчас же отправился верхом в Суслон. Он в последнее время вообще сильно волновался и начинал не понимать, что делается кругом. Только и радости, что поговорит с писарем. Этот уж все знает и всякое дело может рассудить. Закон-то вот как выучил... У Ермилыча было страстное желание еще раз обругать попа Макара, заварившего такую кашу. Всю округу поп замутил, и никто ничего не знает, что дальше будет.

Писарь Замараев чувствовал тоже себя не совсем хорошо и встретил старого приятеля довольно сумрачно.

— А я к тебе, Флегонт Васильич... — замялся Ермилыч. — Сегодня у попа «помочь».

— Ну?

— Есть у меня словечко ему сказать... Осрамил он нас всех, вот что. Уж я думал, думал и

порешил: поеду и обругаю попа.

— Ты дурак, Ермилыч. Вместе с Полуяновым хочешь посидеть?

— Да нет... Я от писания буду попа донимать, чтобы он чувствовал. Невозможно... Поедем на покос.

Писарь сумрачно согласился. Он вообще был не в духе. Они поехали верхами. Поповский покос был сейчас за Шеинскою курьей, где шли заливные луга. Под Суслоном это было одно из самых красивых мест, и суслонские мужики смотрели на поповские луга с завистью. С высокого правого берега, точно браною зеленою скатертью, развертывалась широкая картина. Сейчас она была оживлена сотнями косцов, двигавшихся стройною ратью. Ермилыч невольно залюбовался и со вздохом проговорил:

— Этакое житье этим попам!

— Отберут, — сумрачно заметил писарь. — И у попа... У всех отберут.

— У попа-то отберут? Да кто это посмеет чужое добро трогать?

— И трогать не будут, а сам отдашь... да. Такие нынче мудреные народы проявились.

— А, это ты про запольских немцев да жидов говоришь!.. Гм... Д-да-а, нар-родец!

Прежде Ключевую под курьей нужно было только в лодке переплывать, а теперь переехали в брод, вода едва хватала лошади по брюхо. Писарь опять озлился и, посмотрев вверх по Ключевой к Прорыву, заметил:

— Это проклятый колдун нашу воду копит... Вон как подпер всю реку! Вот навязался тоже чертушка... Настоящий водяной!

Они поехали сначала берегом вверх, а потом свернули на тропу к косцам. Издали уже напахнуло ароматом свежескошенной травы. Косцы шли пробившеюся широкою линией, взмахивая косами враз. Получался замечательный эффект: косы блестели на солнце, и по всей линии точно вспыхивала синеватая молния, врезывавшаяся в зеленую живую стену высокой травы. Работа началась с раннего утра, и несколько десятин уже были покрыты правильными рядами свежей кошенины.

— А вот и поп! — указал Ермилыч на кусты, из-за которых поднималась струйка синего дыма.

Поп Макар скоро показался и сам. Он вышел из-за кустов в одной рубашке и жилете. Черная широкополая поповская шляпа придавала ему вид какого-то гриба или Робинзона из детской книжки. Разница заключалась в тоненькой, как крысиный хвост, косице, вылезавшей из-под шляпы.

— Поздненько на помочь-то выехали, други милые, — попенял старик, здороваясь с приятелями.

— Иже в девятом часу вышли на работу и те получили ту же мзду, — ответил Ермилыч, понахватавшийся от писания.

— То-то вот очень уж много охотников-то до мзды, во-первых, а во-вторых, надо ее умеючи брать, ибо и мзда идет к рукам.

Поповский стан был устроен очень уютно. Стояли три телеги с поднятыми оглоблями, а на них раскинут громадный полог. Получался импровизированный шатер, перед которым курился какой-то сказочный «огонечек малешенек». Под дымом стояла неизменная поповская кобыла, отмахивавшаяся от овода куцым, точно обгрызенным хвостом. В телегах была навезена разная снедь и стояла целая

бочка домашнего квасу. Три мужика цедили квас в деревянные ведерки и разносили по косцам. Поп Макар тревожно поглядывал на солнце и думал о том, управится ли дома попадья во-время. Легко ли накормить и напоить такую ораву помочан. Он был совсем не рад приехавшим гостям. Не до них было.

— Не в пору гость — хуже татарина, — заметил Ермилыч, слезая с лошади.

— Что делать, поп, потерпи... Мы от тебя и не это терпим. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей...

— А ты опять про Ахава нечистивого?

— Ахав-то Ахавом, а прежде старинные люди так говорили: доносчику первый кнут... Ты это слыхивал?

— Ну, а потом? — спрашивал поп, снимая свою шляпу.

— Потом-то?.. А потом будем говорить так: у апостола Павла что сказано насчет мзды?

— Разное сказано.

— Нет, не разное, а пряменько говорится: делающему мзда не по благодати, а по долгу, — значит, бери, а только выручи. Так, Флегонт Васильич?

— Ничего я не знаю от писания, — признался писарь. — Вот насчет закона, извини, могу соответствовать кому угодно.

— Друг, тебя научили этому, во-первых, ваши старые бабы-начетчицы, — заговорил поп Макар, — а во-вторых, други, мне некогда.

Поп надел шляпу и пошел к косцам. Это было почетное бегство, и Ермилыч захохотал.

— Это называется — милости просим через забор шляпой щей хлебать, — объяснил писарь, разваливаясь на траве.

— А угощенье, которым ворота запирают, дома осталось. Ха-ха! Ловко я попа донял... Ну, нечего делать, будем угощаться сами, благо я с собой захватил бутылочку.

Ермилыч добыл из-за пазухи бутылку с водкой, серебряный стаканчик, а потом отправился искать на возу закуски. И закуска нашлась — кочан соленой капусты и пшеничный пирог с зеленым луком. Лучшей закуски не могло и быть.

— Выпьем за здоровье Макара, — предлагал Ермилыч, подавая писарю первый стаканчик. — Ловко он стрекача задал.

Писарь отмалчивался и все хмурился. Они

прилегли к огоньку и предались кейфу. Ермилыч время от времени дрыгал ногами и ругал надоедавший овод.

— У! Чтобы вам пусто было, окаянным!

— Да... вообще... — думал писарь вслух... — Вот мы лежим с тобою на травке, Ермилыч... там, значит, помочане орудуют... поп Макар уж вперед все свои барыши высчитал... да... Так еще, значит, отцами и дедами заведено, по старинке, и вдруг — ничего!

— Как ничего?

— Да так... Вот ты теперь ешь пирог с луком, а вдруг протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только и видел... Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж нет. Не понимаешь? А дело-то к тому идет и даже весьма деликатно и просто.

Ермилыч сел и с каким-то ожесточением выпил два стаканчика зараз. Очень уж изводил его писарь своим разговором.

— Ты это все насчет Заполья, Флегонт Васильич, тень наводишь?

— Да насчет всего... Ты вот думаешь: «далеко Заполье», а оно уж тут, у тебя под носом. Одним словом — все слопают.

— Каким же это манером, Флегонт Васильич?

— А даже очень просто... Хлеб за брюхом не ходит. Мы-то тут дураками печатными сидим да мух ловим, а они орудуют. Взять хоть Михея Зотыча... С него вся музыка-то началась. Помнишь, как он объявился в Суслоне в первый раз? Бродяга не бродяга, юродивый не юродивый, а около того... Промежду прочим, оказал себя поумнее всех. Недаром он тогда всех нас дурачками навеличивал и прибаутки свои наговаривал. Оно и вышло, как по-писаному: прямые дурачки. Разе такой Суслон-то был тогда?

— Тебе же лучше, Флегонт Васильич... И народ умножился и рукомесло всякое. По зиме-то народ у вас, как вода в котле кипит.

— Глуп ты, Ермилыч, свыше всякой меры... У тебя вот Михей-то Зотыч сперва-наперво пшеницу отобрал, а потом Стабровский рожь уведет.

— Всем хватит, Флегонт Васильич.

— Опять ты глуп... Раньше-то ты сам цену ставил на хлеб, а теперь будешь покупать по чужой цене. Понял теперь? Да еще сейчас

вам, мелкотравчатым мельникам, повадку дают, а после-то всех в один узел завяжут... да... А ты сидишь да моргаешь... «Хорошо», говоришь. Уж на что лучше... да... Ну, да это пустяки, ежели сурьезно разобрать. Дураков учат и плакать не велят... Похожи есть патреты. Вот как нашего брата выучат!

Для Ермилыча было много непонятного в этих странных речах, хотя он и привык подчиняться авторитету суслонского писаря и верил ему просто из вежливости. Разве можно не поверить этакому-то человеку, который всякий закон может рассудить?

— И это еще ничего, Ермилыч, — ну, отобрали у тебя пшеницу, отобрали рожь... Ничего, говорю. А тут они вредную самую штуку удумали... Слышал про банк-то? Это уж настоящая музыка. Теперь у меня, например, три тыщи капиталу. Государственный банк дает пять процентов. Так? А они сейчас: бери девять. Лестно тебе это или нет? Конечно, лестно... А они этот же самый капитал в оборот пустят по двадцать четыре процента... Это как, по-твоему? Силища неочерпаемая. Мне это милые зятья объяснили, Галактион да

Карла. Вот какое дело выходит... Всех заберут в лапы, Ермилыч, как пить дадут.

Вместо ответа Ермилыч упал на траву и удушливо захохотал.

— Да ты что ржешь-то, свинья? — озлился писарь.

— Удивил!.. Ха-ха!.. Флегонт Васильич, отец родной, удивил! А я-то всего беру сто на сто процентов... Меньше ни-ни! Дело полюбовное: хочешь — не хочешь. Кто шубу принесет в заклад, кто телегу, кто снасть какую-нибудь... Деньги деньгами, да еще отработай... И еще благодарят. Понял?

Писарь опешил. Он слыхал, что Ермилыч ссужает под заклады, но не знал, что это уже целое дело. И кому в башку придет: какой-то дурак мельник... В конце концов писарь даже обиделся, потому что, очевидно, в дураках оказался один он.

Глава 26

Этот разговор с Ермилычем засел у писаря в голове клином. Вот тебе и банк!.. Ай да Ермилыч, ловко! В Заполье свою линию ведут, а Ермилыч свои узоры рисует. Да, штучка тепленькая, коли на то пошло. Писарю даже сде-

лалось смешно, когда он припомнил родственника Карлу, мечтавшего о своем кусочке хлеба с маслом. Тут уж дело пахло не кусочком и не маслом.

Выпивший почти всю водку Ермилыч тут же и заснул, а писарь дождался попа Макара, который пришел с покоса усталый, потный и казавшийся еще меньше, как цыпленок, нечаянно попавший в воду.

— Ну, слава богу, покончили, — проговорил он, припадая запекшимися губами к ведру с квасом. — И по домам пора.

— Что же ты нас-то с Ермилычем не пригласишь в гости? — обиделся писарь, наблюдая попа Макара.

— Чего вас звать? Сами приедете.

— Все-таки в церковь ходят по звону, а в госта по зову.

— Ну, коли так, так милости просим.

— Значит, ходите почаще мимо, без вас веселее?.. Поп, не гордись... В некоторое время и мы с Ермилычем можем пригодиться.

— Послушай, да что ты ко мне-то привязался, сера горючая? — озлился о. Макар.

— Ну, ладно, ладно... И так приедем.

Солнце еще не село, когда помочане веселою гурьбой тронулись с покоса. Это было целое войско, а закинутые на плечи косы блестели, как штыки. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и она полилась, как река, выступившая в половодье из своих берегов. Суслонцы всегда возвращались с помочей с песнями, — так уж велось исстари.

Поп Макар уехал раньше, чтобы встретить помочан у себя в доме, а писарь с Ермилычем возвращались прежнею дорогой. Писарь еще раз полюбовался поповскими лугами, от которых поднимался тяжелый аромат свежескошенной травы.

— Эх, хорошо! — вслух думал писарь, приглядывая поемный луг из-под руки. — Неужто же они и это слопают?

Мысль была обидная и расстраивала писаря, хотя благодаря разговору с Ермилычем у него явилась слабая надежда на что-то лучшее, на возможность какого-то выхода. Да, еще не все пропало. Писарский нос чуял какую-то поживу, хотя форма этой поживы еще и не определилась ясно. Потом ему делалось обидно, что другие малыгинские зятья все за-

жили по-новому, кончая Галактионом, и только он один остался точно за штатом. Конечно, обидно, потому что чем он хуже этих других прочих? Почище еще будет, только дай срок развернуться. Тоже родня называется: хоть бы чем-нибудь поманили для начала. Писарство уже надоело Замараеву, да и времена наступали трудные. Неизвестно, кого еще назначат вместо Полуянова, а новая метла всегда чисто начинает мести. Привыкай-ка к новому начальству да подлаживайся.

— Эх, жисть каторжная! — вздыхал Замараев, вспоминая Полуянова. — И дернуло тогда попа... Лучше бы, кажется, своими деньгами тогда откупиться.

Вообще, как ни поверни, — скверно. Придется еще по волости отсчитываться за десять лет, — греха не оберешься. Прежде-то все сходило, как по маслу, а нынче еще неизвестно, на кого попадешь. Вот то ли дело Ермилычу: сам большой, сам маленький, и никого знать не хочет.

Первый, кто встретил писаря и Ермилыча в поповском доме, был Вахрушка.

— Ты, крупа, по какой-такой причине объ-

явился здесь? — сердито спросил его писарь, все еще имевший на старика «зуб».

— А уж так, Флегонт Васильич, — довольно смело ответил Вахрушка, вытягиваясь по-солдатски. — Куды добрые люди, туды и мы.

— Видно, в Прорыве насчет водки плохо? — подсмеивался Ермилыч.

— Какая там водка! И в заведении этого составу нет. В том роде, как монастырское положенье.

— Колдунами живете, — ругался писарь. — Только добрых людей морочите.

— Плохая наша ворожба, Флегонт Васильич. Михей-то Зотыч того, разнемогся, в лежку лежит. Того гляди, скапутится. А у меня та причина, что ежели он помрет, так жалованье мое все пропадет. Денег-то я еще и не видывал от него, а уж второй год живу.

— Так тебе и надо, старому черту! Зачем службу настоящую бросил? Вот теперь и поглядывай, как лиса в кувшин.

— Уж как господь пошлет, а я только об одном молюсь, как бы я с него лишнего не взял... да. Вот теперь попадье пришел помогать столы ставить.

Вахрушка не сказал главного: Михей Зотыч сам отправил его в Суслон, потому что ждал какого-то раскольничьего старца, а Вахрушка, пожалуй, еще табачище свой запалит. Старику все это казалось обидным, и он с горя отправился к попу Макару, благо помочь подвернулась. В самый раз дело подошло: и попадье подсобить и водочки с помочанами выпить. Конечно, неприятно было встречаться с писарем, но ничего не поделаешь. Все равно от писаря никуда не уйдешь. Уж он на дне морском сыщет.

А в поповском доме с раннего утра шло настоящее столпотворение. Сколько было нужно всего заготовить, чтобы накормить и напоить такую ораву помочан! Рябая и толстая попадья Луковна (сокращенное от Лукинична) сбилась с ног, несмотря на помощь писарихи Анны Харитоновны. Она обливалась потом и бегала на погреб, чтобы перевести дух и хлебнуть холодненького домашнего пивца. Попадья была строга и держала мужа в ежовых рукавицах, а тут распинайся для всех, как каторжная. Кроме писарихи, ей помогала еще одна, совсем новая женщина в Суслоне, не

имевшая официального положения: это была Арина Матвеевна, сожительница Емельяна. Она недавно приехала и проживала в Суслоне, не смея показать носу на мельницу. Высокая и красивая, она всем понравилась, и попадья принимала ее, как будущую жену Емельяна.

— Вот помрет старик, тогда Емельян и примет закон, — говорила попадья с уверенностью опытного в таких делах человека. — Что делать, нашей сестре приходится вот как терпеть... И в законе терпеть и без закона.

Арина Матвеевна каждый раз так хорошо смущалась от таких разговоров, и попадья ее жалела. Хорошо уж очень застыдится бабочка. Сейчас Арина Матвеевна старалась услужить попадье, чтобы хоть этим отплатить ей за доброту.

Появление Вахрушки обрадовало попадью больше всего.

— Все-таки мужчинка, хоть и старо место, — откровенно объяснила она. — Бабы-то умаялись без тебя, Вахрушка... Скудельный сосуд.

— Уж постараемся, попадья, — заявил Вах-

рушка. — Старый конь борозды не портит.

— А ты бы по первоначалу хлебнул пивца холодненького, Вахрушка. Кощей-то заморил тебя.

— Ох, заморил!

Помощь Вахрушки дала сейчас же самые благодетельные результаты. Он кричал на баб, ставивших столы во дворе, чуть не сшиб с ног два раза попадью, придавил лапу поповскому коту, обругал поповскую стряпуху, — одним словом, старался. Писаря и мельника он встречал с внутренним озлоблением, как непрошеных гостей.

— Вот черт принес! — жаловался он попадье. — Не нашли другого время, а еще мы да мы... и всякое обращение понимаем. Лезут не знамо куда.

— Поп и то жалился на них, — по секрету сообщила попадья. — Наехали, говорит, на покос и учали меня ругать за исправника.

Впрочем, незваные гости ушли в огород, где у попа была устроена под черемухами беседка, и там расположились сами по себе. Ермилыч выкрал у зазевавшейся стряпухи самовар и сам поставил его.

— На вольном-то воздухе вот как чайку изопьем, — говорил он, раздувая самовар. — Еще спасибо поп-то скажет. Дамов наших буду отпаивать чаем, а то вон попадья высуня язык бегает.

Писарь улегся на траву и ничего не говорил. Он был поглощен какою-то тайною мыслью и только угнетенно вздыхал.

Поповский дом теперь походил на крепость, занятую неприятелем. Пока ужинали, дело еще шло ничего, а потом началась уже настоящая попойка. Одной водки было выставлено шесть ведер, не считая домашнего пива. Глухой сдержанный говор во время еды быстро сменялся пьяным галденьем, криком и песнями. Скоро уже ничего нельзя было различить, и каждый орудовал в свою голову. Откуда-то явилась балалайка, и под ее треньканье поднялась ожесточенная пляска. Мужики галдели, бабы визжали, и стонала, кажется, сама земля от этого пьяного веселья. Писарь прислушивался к гомонившей помочи и только покачивал головой. Ну, пусть порадуются на последках, а там уж, что бог даст. Конечно, темный народ и ничего не понима-

ет. Мысль о том, что все отберут, засела клином в крепкую писарскую голову. Ермилыч легкомысленно занят был настоящим и постоянно бегал к помочанам, где и успел порядочно выпить. В последний раз он вернулся в сопровождении писарихи я Арины Матвеевны.

— Испейте чайку, мадамы, а то без задних ног останетесь.

Последним пришел в садик поп Макар, не могший от усталости даже говорить, а попадью Луковну привели под руки.

— Ох, моченьки не стало! — жаловалась старушка. — До смертыньки умаялась. И кто это только придумал помочи!

— А вы наливочки, матушка, — предлагал Ермилыч. — Весь устаток как рукой снимет. Эй, Вахрушка, сорудуй насчет наливки!

— Слушаю-с! — ответил голос Вахрушки неизвестно откуда.

Спускалась уже безмолвная летняя ночь. Помочане разбрелись уже по своим домам. Только издали доносились обрывки пьяных песен, да на Ключевой гоготали сторожившиеся гуси. Поп увел Ермилыча в горницы, а пи-

сарь заснул на траве под шумок разговоров в беседке. Когда он проснулся, было уже совершенно темно и только из беседки доносился голос попадьи, рассказывавшей что-то бесконечное. Писарь прислушался. Речь шла о Галактионе и разных запольских делах. Изредка вставляли свое словечко Анна и Арина Матвеевна. Оказалось, что суслонские дамы отлично знали решительно все, что делалось в Заполье, всю подноготную: и про Бубниху, с которой запутался Галактион, и про адвоката Мышникова, усадившего Полуянова в острог из-за Харитины, и про бубновский конкурс, и про банк и т. д.

— Вот так бабы! — изумлялся писарь, протирая глаза. — Откуда только они все вызнали?

— Серафима-то Харитоновна все глаза проплакала, — рассказывала попадья тягучим речитативом. — Бьет он ее, Галактион-то. Известно, озверел человек. Слышь, Анфуса-то Гавриловна сколько разов наезжала к Галактиону, уговаривала и тоже плакала. Молчит Галактион, как пень, а как теща уехала — он опять за свое.

— Гордилась Серафима мужем, — объясняла Анна. — Вот и плачется. За гордость господь наказал.

— И это бывает, — согласилась Арина Матвеевна с тяжелым вздохом. — А то, может, Бубниха-то чем ни на есть испортила Галактиона. Сперва своего мужа уходила, а теперь принялась за чужого.

— Убить ее мало, подлячку. Прежде таких-то в воду бросали.

Потом женщины начали говорить шепотом. Слышался сдержанный смех. Часто упоминалось имя Харитины.

«Ах, проклятые бабы! — начал сердиться писарь. — Это им поп Макар навозит новостей из Заполья, да пьяный Карла болтает. Этакое зелье эти самые бабы! До всего-то им дело».

Дальше писарь узнал, как богато живет Стабровский и какие порядки заведены у него в доме. Все женщины от души жалели Устеньку Луковникову, отец которой сошел с ума и отдал дочь полякам.

— Изведут девку вконец, — говорила попадья. — Сама полячкой сделается, а полячки —

злые-презлые. Так и шипят, как змеи подколодные.

— У Стабровских англичанка всем делом правит, — объяснила Анна, — тоже, говорят, злющая. Уж такие теперь дела пошли в Заполье, что и ума не приложить. Все умнее да мудренее хотят быть.

Закончилась эта интимная беседа своими домашними делами, причем досталось на орехи суслонским мужьям.

— Ну, наши-то совсем еще ничего не понимают, — говорила попадья. — Да оно и лучше.

— Куда им! — смеялась Анна. — В трех соснах заблудятся!

Это уже окончательно взбесило писаря. Бабы и те понимают, что по прежнему жить нельзя. Было время, да отошло... да... У него опять заходил в голове давешний разговор с Ермилычем. Ведь вот человек удумал штуку. И как еще ловко подвел. Сам же и смеется над городским банком. Вдруг писаря осенила мысль. А что, если самому на манер Ермилыча, да не здесь, а в городе? Писарь даже сел, точно его кто ударил, а потом громко засмеялся.

— Ай, батюшка, кто тут крещеный? — всполошилась попадья. — Никак посторонний мужчина… ай!

А писарь все хохотал и, погрозив кому-то кулаком, проговорил:

— Вот я вам пок-кажу, прохвосты!

Когда писарь вошел в поповскую горницу, там сидел у стола, схватившись за голову, Галактион. Против него сидели о. Макар и Ермилыч и молча смотрели на него. Завидев писаря, Ермилыч молча показал глазами на гостя: дескать, человек не в себе.

Глава 27

Галактион попал в Суслон совершенно случайно. Он со Штоффом отправился на новый винокуренный завод Стабровского, совсем уже готовый к открытию, и здесь услыхал, что отец болен. Прямо на мельницу в Прорыв он не поехал, а остановился в Суслоне у писаря. Отца он не видал уже около года и боялся встречи с ним. К отцу у Галактиона еще сохранилось какое-то детское чувство страха, хотя сейчас он совершенно не зависел от него.

Из поповского дома писарь и Галактион

скоро ушли домой. Оба были расстроены, каждый по-своему, и молчали. Первым нарушил молчание писарь, заговоривший с каким-то озлоблением:

— Наладили завод Стабровскому? Карла сказывал, что годовой выход на двести тысяч ведер чистого спирта. Вот ахнет такое заведение, так все наскрозь пропьемся. Только кто и вылакает такую прорву винища.

— Прост ты, Флегонт Васильич, и ничего не понимаешь в таких делах.

— Прост, да про себя, Галактион Михеич. Даже весьма понимаем. Ежели Стабровский только по двугривенному получит с каждого ведра чистого барыша, и то составит сумму... да. Сорок тысяч голеньких в год. Завод-то стоит всего тысяч полтораста, — ну, дивиденд настоящий. Мы все, братец, тоже по-своему-то рассчитали и дело вот как понимаем... да. Конечно, у Стабровского капитал, и все для него стараются.

Галактион засмеялся наивности писаря.

— А если, Флегонт Васильич, Стабровский и не будет курить вино на своем заводе, а дивиденд получит такой же?

Писарь только захлопал глазами, пораженный такою неожиданностью, а потом обиделся.

— Ты меня и впрямь за дурака считаешь, Галактион Михеич.

— Нет, верно! Ты слыхал про винокуренные заводы Прохорова и К *о*? Там дело миллионное, твердое, поставленное. На три губернии работает, и каждый уголок у них обнюхан. Просунься-ка к ним: задавят. Так?

— Уж это что говорить. Силища, известно.

— Маленькие заводишки Прохоров еще терпит: ну, подыши. Да и неловко целую округу сцапать. Для счету и оставляют такие заводишки, как у Бубнова. А Стабровский-то серьезный конкурент, и с ним расчеты другие.

— Резаться будут до зла-горя, пока которого-нибудь не разорвут.

Галактион опять засмеялся и проговорил другим тоном:

— Вот что, Флегонт Васильич, ты мужик умный, не проболтаешься. Этого еще никто не знает, кроме меня. И самому Стабровскому никогда бы не придумать. А есть тут необык-

новенного ума жид Ечкин. Его штука. Никто этого не знает, даже Штофф, а я сообразил, когда по делам бубновского конкурса ездил на прохоровские заводы. Ах, умен Ечкин! Ему министром быть. Видишь, какая тут штука: Прохоров забрал силу, а Ечкин и высчитал, что его можно поджать, и даже очень. Расчет в хлебном рынке и в провозной плате. Если поставить завод ближе к хлебу, так у каждого пуда можно натянуть две-три копейки — вот тебе раз, а второе, везти сырой хлеб или спирт — тоже три-четыре копейки барыша... да... Вот уж тебе тысяч пятнадцать — двадцать Стабровский имеет за здорово живешь и может выдержать конкуренцию. Так? Теперь какой расчет у Прохорова затягивать себе петлю на шею? Ечкин и придумал. Я это только один понимаю, и ты молчи до поры. Он устроит так, что Стабровский будет получать с Прохорова отступную побольше сорока-то тысяч. Обоим будет выгодно. А чуть Прохоров на дыбы, Стабровский завод пустит. Понял теперь?

Писарь сел и смотрел на Галактиона восторженными глазами. Господи, какие умные

люди бывают на белом свете! Потом писарю сделалось вдруг страшно: господи, как же простецам-то жить? Он чувствовал себя таким маленьким, глупым, несчастным.

— А мы-то! — проговорил он с тяжелым вздохом и только махнул рукой. — Одним словом, родимая мамынька, зачем ты только на свет родила раба божия Флегонта? Как же нам-то жить, Галактион Михеич? Ведь этак и впрямь слопают, со всем потрохом.

— Ничего, поживем. На всякую загадку есть своя отгадка.

Писаря охватила жажда поделиться мучившею его мыслью. Откровенность Галактиона подзадорила его. Он начал разговор издалека, с поповской помочи, когда с Ермилычем пил водку на покосе.

— Как это он мне сказал про свой-то банк, значит, Ермилыч, меня точно осенило. А возьму, например, я, да и открою ссудную кассу в Заполье, как ты полагаешь? Деньжонок у меня скоплено тысяч за десять, вот рухлядишку побоку, — ну, близко к двадцати набежит. Есть другие мелкие народы, которые прячут деньжонки по подпольям... да. Одним

словом, оборочусь.

— Грязное дело, Флегонт Васильич. Бедноту да голь обирать.

— Ах, какой ты! Со богатых-то вы все оберете, а нам уж голенькие остались. Только бы на ноги встать, вот главная причина. У тебя вон пароходы в башке плавают, а мы по сухому бережку с молитвой будем ходить. Только бы мало-мало в люди выбраться, чтобы перед другими не стыдно было. Надоело уж под начальством сидеть, а при своем деле сам большой, сам маленький. Так я говорю?

— Нечистое дело, Флегонт Васильич.

— Э, деньги одинаковы! Только бы нажить. Ведь много ли мне нужно, Галактион Михеич? Я да жена — и все тут. А без дела обидно сидеть, потому как чувствую призвание. А деньги будут, можно и на церковь пожертвовать и слепую богадельню устроить, мало ли что!

— Что же, начинай.

— Одобряешь, значит?

У Галактиона вдруг сделалось скучное лицо, и он нахмурился. Писарь понял, откуда нанесло тучу, и рассказал, что давеча болтала

попадья с гостями.

— Откуда только вызнают эти бабы! — удивлялся писарь и, хлопнув Галактиона по плечу, прибавил: — А ты не сумлевайся. Без стыда лица не износишь, как сказывали старинные люди, а перемелется — мука будет.

— Нечего сказать, хороша мука. Удивительное это дело, Флегонт Васильич: пока хорошо с женой жил — все в черном теле состоял, а тут, как ошибочку сделал — точно дверь распахнул. Даром деньги получаю. А жену жаль и ребятишек. Несчастный я человек... себе не рад с деньгами.

— Силом женили — с них и взыск.

— Ничего я не знаю, а только сердце горит. Вот к отцу пойду, а сам волк волком. Уж до него тоже пали разные слухи, начнет выговаривать. Эх, пропадай все проподом!

Этот случайный разговор с писарем подействовал на Галактиона успокоивающим образом. Кажется, ничего особенного не было сказано, а как-то легче на душе. Именно в таком настроении он поехал на другой день утром к отцу. По дороге встретился Емельян.

— А, здравствуй, Емельян! Ну, как пожива-

ете?

— Да ничего, — заметил Емельян и замялся. — Ты бы того, Галактион, повременил, а то у родителя этот старец сидит.

— Ну, и пусть сидит... Авось не съедим друг друга.

Галактион как-то чутьем понял, что Емельян едет с мельницы украдом, чтобы повидаться с женой, и ему сделалось жаль брата. Вся у них семья какая-то такая, точно все прячутся друг от друга.

— До свидания, — проговорил Емельян, видимо вырвавшийся на минутку. — Увидимся на мельнице.

— Ладно, приезжай.

Галактион давно собирался к отцу, но все откладывал, а сегодня ехал совершенно спокойно. Чему быть, того не миновать.

Михей Зотыч лежал у себя в горнице на старой деревянной кровати, покрытой войлоком. Он сильно похудел, изменился, а главное — точно весь выцвел. В лице не было ни кровинки. Даже нос заострился, и глаза казались больше.

— А, вспомнил отца! — заговорил он рав-

нодушно, когда Галактион вошел.

— Случайно узнал, папаша, что вы больны. Отчего вы мне ничего не написали? Я сейчас же приехал бы...

— Что писать-то, милый сын? Какой я писатель? Вот смерть приходила... да. Собрался было совсем помирать, да, видно, еще отсрочка вышла. Ох, грехи наши тяжкие!

— Прежде смерти никто не помрет, — ответил из угла старец, которого Галактион сейчас только заметил. — А касаемо грехов, это ты верно, Михей Зотыч. Пора мир-то бросать, а о душе тягчать.

Это был тот самый старец, который был у Галактиона с увещанием. Галактион сделал вид, что не узнал его.

— Ох, пора! — стонал Михей Зотыч, тяжело повертываясь на своем жестком ложе. — Много грехов, старче... Вот как мышь в муку заберется, так и я в грехах.

— Не за себя одного дашь ответ, — отозвался сердито старец. — Говорю: пора... Спохватишься, да как бы не опоздать. Мирское у тебя на уме.

Старец рассердился без всякой причины и

вышел, хлопнув дверью. Михей Зотыч закрыл глаза и улыбнулся.

— В скиты меня тащат, — заговорил он, — да... Оно пора бы, ежели бы... Зачем ты сюда-то приехал. Галактион?

— На заводе был у Стабровского, папаша. По пути и сюда завернул.

— Нанялся к Стабровскому в подрушные?

— Нет, я так... У меня свое дело.

— Хорошее дело, сыночек...

— Какое уж есть... Не помирать же с голоду.

— Отцу не хотел служить, а бесу служишь. Ну, да это твое дело... Сам не маленький и правую руку от левой отличишь.

Галактион замер, ожидая, что отец начнет выговаривать ему относительно жены, но Михей Зотыч закрыл глаза и опять улыбнулся.

— Думал: помру, — думал он вслух. — Тяжело душеньке с грешным телом расставаться... Ох, тяжело! Ну, лежу и думаю: только ведь еще жить начал... Раньше-то в египетской работе состоял, а тут на себя... да...

С трудом облокотившись на подушку, ста-

рик прибавил другим голосом:

— А я два места под мельницы арендовал, Галактион. Одно-то на Ключевой, пониже Ермилыча, а другое — на притоке.

— Для чего ж тебе еще две мельницы?

— Ну уж это не твое дело.

— Что же, я могу составить тебе планы и сметы, а выстроите и без меня. У меня своего дела по горло.

Старик посмотрел на сына прищуренными глазами, как делал, когда сердился, но сдержал себя и проговорил деловитым тоном:

— Сами управимся, бог даст... а ты только плант наведи. Не следовало бы тебе по-настоящему так с отцом разговаривать, — ну, да уж бог с тобой... Яйца умнее курицы по нынешним временам.

Галактион провел целый день у отца. Все время шел деловой разговор. Михей Зотыч не выдал себя ни одним словом, что знает что-нибудь про сына. Может быть, тут был свой расчет, может быть, нежелание вмешиваться в чужие семейные дела, но Галактиону отец показался немного тронутым человеком. Он помешался на своих мельницах и больше ни-

чего знать не хотел.

Вечером Галактиона поймал Симон.

— Братец, совсем вы забыли нас, — жаловался он. — А мы тут померли от скуки... Емельян-то уезжает по ночам в Суслон, а я все один. Хоть бы вы меня взяли к себе в Заполье, братец... Уж я бы как старался.

— Погоди, вот сам сначала устроюсь... Тебе Харитина кланяется.

— Станет она думать обо мне, братец! На всякий случай скажите поклончик, что, мол, есть такой несчастный молодой человек, который жисть свою готов за вас отдать. Так и скажите, братец.

— Сладко уж очень, а я не умею так говорить, — отшучивался Галактион.

Потом Галактион с неожиданною нежностью обнял брата и проговорил:

— Симон, бойся проклятых баб. Всякое несчастье от них... да. Вот смотри на меня и казнись. У нас уж такая роковая семья... Счастья нет.

С отцом Галактион расстался совсем сухо, как чужой.

Емельян поехал провожать Галактиона и

всю дорогу имел вид человека, приготовившегося сообщить какую-то очень важную тайну. Он даже откашливался, кряхтел и поправлял ворот ситцевой рубахи, но так ничего и не сказал. Галактион все думал об отце и приходил к заключению, что старик серьезно повихнулся.

Глава 28

Галактион отъехал уже целых полстанции от Суслона, как у него вдруг явилось страстное желание вернуться в Прорыв. Да, нужно было все сказать отцу.

— Поворачивай! — крикнул он ямщику таким голосом, что тот оглянулся. — Да живее!

Какое-то странное волнение охватило Галактиона, точно он боялся чего-то не довезти и потерять дорогой. А потом эта очищающая жажда высказаться, выложить всю душу... Ему сделалось даже страшно при мысли, что отец мог вдруг умереть, и он остался бы навсегда с тяжестью на душе.

Симон испугался, когда увидел вернувшегося Галактиона, — у него было такое страшное лицо. Он еще не видал брата таким.

— Что случилось, Галактион?

— Ничего... Забыл переговорить с отцом об одном деле.

Михей Зотыч, наоборот, нисколько не удивился возвращению Галактиона. Скитский старец по прежнему сидел в углу, и Галактион обрадовался, что он здесь, как живой посредник между ним и отцом.

— Чего позабыл? — грубо спросил Михей Зотыч улыбаясь.

— Чего забыл? — точно рванул Галактион. — А вот это самое... да. Ведь я домой поехал, а дома-то и нет... жена постылая в дому... родительское благословение, навеки нерушимое... Вот я и вернулся, чтобы сказать... да... сказать... Ведь все знают, — не скроешь. А только никто не знает, что у меня вся душенька выболела.

— А ты всем скажи: отец, мол, родной виноват, — добавил Михей Зотыч с прежнею улыбкой. — Отец насильно женил... Ну, и будешь прав, да еще тебя-то пожалеют, особливо которые бабы ежели с жиру бесятся. Чужие-то люди жалостливее.

— Хорошо тебе наговаривать, родитель, да высмеивать, — как-то застонал Галактион, —

да. А я вот и своей-то постылой жизни не рад. Хлопочу, работаю, тороплюсь куда-то, а все это одна видимость... у самого пусто, вот тут пусто.

— Ишь как ты разлакомился там, в Заполье! — засмеялся опять Михей Зотыч. — У вас ведь там все правые, и один лучше другого, потому как ни бога, ни черта не знают. Жиды, да табашники, да потворщики, да жалостливые бабешки.

Галактион вскочил со стула и посмотрел на отца совсем дикими глазами. О, как он сейчас его ненавидел, органически ненавидел вот за эту безжалостность, за смех, за самоуверенность, — ведь это была его собственная несчастная судьба, которая смеялась над ним в глаза. Потом у него все помутилось в голове. Ему так много было нужно сказать отцу, а выходило совсем другое, и язык говорил не то. Галактион вдруг обессилел и беспомощно посмотрел кругом, точно искал поддержки.

— А в Кирилловой книге[47] сказано, — отозвался из угла скитский старец: — «Да не будем к тому младенцы умом, скитающися во всяком ветре учения, во лжи человеческой, в

коварстве козней льщения. Блюдем истинствующие в любви».

— Это ежели у кого совесть, — добавил Михей Зотыч смиренным тоном. — А у нас злоба и ярость.

— Смейся, родитель. Да, смейся! — крикнул Галактион. — А над кем смеешься-то?

— Слышишь, старче, как нынче детки с родителями разговоры разговаривают? — обратился Михей Зотыч к своему гостю. — Ну, сынок, скажи еще что-нибудь.

— И скажу! От кого плачется Серафима Харитоновна? От кого дом у меня пустует? Кто засиротил малых детушек при живом отце-матери? От кого мыкается по чужим дворам Емельянова жена, как беспастушная скотина? Вся семья врозь пошла.

— А вот помру, так все поправитесь, — ядовито ответил Михей Зотыч, тряхнув головой. — Умнее отца будете жить. А сейчас-то надо бы тебя, милый сынок, отправить в волость, да всыпать горячих штук полтораста, да прохладить потом в холодной недельки с две. Эй, Вахрушка!

На счастье Галактиона, Вахрушки не слу-

чилось дома, и он мог убраться из-под гостеприимной родительской кровли цел и невредим.

— Ужо в город приеду к тебе в гости! — крикнул ему вслед Михей Зотыч, напрасно порываясь подняться. — Там-то не уйдешь от меня... Найдем и на тебя управу!

Когда под окнами проехала дорожная повозка Галактиона, скитский старец проговорил:

— А ты напрасно изводишь сына-то, Михей Зотыч. На каком дереве птицы не сиживали, — так и грехи на человеке. А мужнин-то грех за порогом... Подурит, да домой воротится.

— А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? Оттого я женил за благо время и денег не дал, когда в отдел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как в нем совесть ходит... А тут еще отец ему спуску не дает. Так-то, отче!

Всю дорогу до Заполья Галактион ехал точно в каком-то тумане. С отцом вышло какое-то дикое объяснение, и он не мог выска-

зать того, что хотел. Свою душевную тяжесть он вез обратно с собой. Теперь у него не выходила из головы жена. Какая-то жгучая жалость охватывала его сердце, а глаза видели заплаканное, прежде времени старившееся лицо Галактиону делалось совестно за свое поведение. В самом деле, зачем он зорил свой собственный дам? Кстати, и с Прасковьей Ивановной все кончилось так же быстро, как началось... Они не сошлись характерами. Прасковья Ивановна жаждала безусловного повиновения, а Галактион не умел поддаваться, да и не любил ее настолько, чтобы исполнять каждый женский каприз. Положим, Прасковья Ивановна была и красива, и молода, и пикантна, но это было совсем не то. Из-за нее для Галактиона выдвигалось постоянно другое женское лицо, ласковое и строгое, с такими властными глазами, какою-то глубокою внутреннею полнотой. Под этим взглядом он чувствовал себя как-то и хорошо, и жутко, и спокойно, точно в ясное солнечное летнее утро, когда все кругом радуется. Прасковья Ивановна сама догадалась, что из этой связи ничего не выйдет, и объявила Галакти-

ону без слез и жалоб, деловым тоном:

— Идите вы, Галактион Михеич, к жене... Соскучилась она без вас, а мне с вами скучно. Будет... Как-никак, а все-таки я мужняя жена. Вот муж помрет, так, может, и замуж выйду.

— За Мышникова?

— Уж какая судьба выпадет. Вот вы гонялись за Харитиной, а попали на меня. Значит, была одна судьба, а сейчас вам выходит другая: от ворот поворот.

Так и расстались, и ни которому ни тепло, ни холодно не сделалось.

Именно с такими мыслями возвращался в Заполье Галактион и последнюю станцию особенно торопился. Ему хотелось поскорее увидеть жену и детей. Да, он соскучился о них. На детей в последнее время он обращал совсем мало внимания, и ему делалось совестно. И жены совестно. Подъезжая к городу, Галактион решил, что все расскажет жене, все до последней мелочи, вымолит прощение и заживет по-новому.

— Эй, ямщик, живее!

Но в Заполье его ожидал неожиданный сюрприз. Дома была одна кухарка, которая и

объявила, что дома никого нет.

— Как никого?

— Да так. Серафима Харитоновна забрала ребяток и увезла их к тятеньке. Сказала, што сюда не вернется.

Это был настоящий удар. В первый момент Галактион не понял хорошенько всей важности случившегося. Именно этого он никак не ожидал от жены. Но опустевшие комнаты говорили красноречивее живых людей. Галактиона охватило озлобленное отчаяние. Да, теперь все порвалось и навсегда. Возврата уже не было.

— Что же, сам виноват, — вслух думал Галактион. — Так и должно было быть... Серафиме ничего не оставалось делать, как уйти.

Долго Галактион ходил по опустевшему гнезду, переживая щемящую тоску. Особенно жутко ему сделалось, когда он вошел в детскую. Вот и забытые игрушки, и пустые кроватки, и детские костюмчики на стене... Чем бедные детки виноваты? Галактион присел к столу с игрушками и заплакал. Ему сделалось страшно жаль детей. У других-то все по-другому, а вот эти будут сиротами расти при отце с

матерью... Нет, хуже! Ах, несчастные детки, несчастные!

Много передумал Галактион за эти часы, пока не перешел к самому близкому. Да, теперь уж, вероятно, целый город знает, что жена ушла от него. Худые вести не лежат на месте. Как он теперь в люди глаза покажет? Ведь все будут на него пальцами указывать. Чувство жалости к жене сменилось теперь затаенным озлоблением. Да, она хотела устроить ему скандал и устроила в полной форме. Хуже ничего не могла придумать. И опять от этого скандала хуже будет все тем же несчастным детям. Если бы Серафима по-настоящему любила детей, так никогда бы так не сделала.

«Ну, ушла к отцу, что же из этого? — раздумывал Галактион. — Ну, будут дети расти у дедушки, что же тут хорошего? Пьянство, безобразие, постоянные скандалы. Ах, Серафима, Серафима!»

Галактион дождался сумерок и отправился к Малыгиным. Он ужасно боялся, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых, и нарочно обошел самые людные улицы, как вор, который боится собственной тени.

Его неожиданное появление в малыгинском доме произвело настоящий переполох, точно вошел разбойник. Встретившая его на дворе стряпка Аграфена только ахнула, выронила из рук горшок и убежала в кухню. Сама Анфуса Гавриловна заперлась у себя в спальне. Принял зятя на террасе сам Харитон Артемьич, бывший, по обыкновению, навеселе.

— Ну, милый зятек, как мы будем с тобой разговаривать? — бормотал он, размахивая рукой. — Оно тово... да... Наградил господь меня зятьками, нечего сказать. Один в тюрьме сидит, от другого жена убежала, третий... Настоящий альбом! Истинно благословил господь за родительские молитвы.

— Поговоримте серьезно, Харитон Артемьич.

— Да ты с кем разговариваешь-то, путаная голова? — неожиданно закричал старик. — Вот сперва свою дочь вырасти... да. А у меня с тобой короткий разговор: вон!

Старик даже затопал ногами и выбежал с террасы. Галактион чувствовал, как он весь холодеет, а в глазах стоит какая-то муть. Харитон Артемьич сбегал в столовую, хлопнул

рюмку водки сверх абонемента и вернулся уже в другом настроении.

— Вот что, Галактион, неладно... да.

— Я и сам знаю, что хорошего ничего нет. А только вот дети.

— Ах, нехорошо, брат!.. И мы не без греха прожили... всячески бывало. Только оно то-во... Вот ты вырасти свою дочь... Да, вырасти!..

Старик опять закричал и затопал ногами, но в этот критический момент явилась на выручку Анфуса Гавриловна. Она вошла с опущенными глазами и старалась не смотреть на зятя.

— Иди-ка ты, отец, к себе лучше, — проговорила старушка с решительным видом, какого Галактион не ожидал. — Я уж сама.

— Что же, я и уйду, — согласился Харитон Артемьич. — Тошно мне глядеть-то на всех вас. Разорвал бы, кажется, всех. Наградил господь. Что я тебе по-настоящему-то должен сказать, Галактион? Какие-такие слова я должон выговаривать? Да я...

— Ну, иди, иди, Харитон Артемьич.

— И уйду. А ты, Фуса, не верь ему, ни еди-

ному слову не верь, потому нынешние-то зятья... тьфу!

Когда Харитон Артемьич вышел с террасы, наступила самая томительная пауза, показавшаяся Галактиону вечностью. Анфуса Гавриловна присела к столу и тихо заплакала. Это было самое худшее, что только можно было придумать. У Галактиона даже заныло под ложечкой и вылетели из головы все слова, какие он хотел сказать теще.

— Вся надежда у меня только на тебя была, Галактион, — заговорила Анфуса Гавриловна, не вытирая слез, — да. А ты вот что придумал.

— Меж мужем и женой один бог судья, мамаша, а вторая причина... Эх, да что тут говорить! Все равно не поймете. С добром я ехал домой, хотел жене во всем покаяться и зажить по-новому, а она меня на весь город ославила. Кому хуже-то будет?

— Сам же запустошил дом и сам же похваляешься. Нехорошо, Галактион, а за чужие-то слезы бог найдет. Пришел ты, а того не понимаешь, что я и разговаривать-то с тобой по-настоящему не могу. Я-то скажу правду, а ты со зла все на жену переведешь. Мудрено с зя-

тьями-то разговаривать. Вот выдай свою дочь, тогда и узнаешь.

Галактион заходил по террасе, как раненый зверь. Потом он тряхнул волосами и проговорил:

— Вот что, мамаша, кто старое помянет, тому глаз вон. Ничего больше не будет. У Симы я сам выпрошу прощенье, только вы ее не растравляйте. Не ее, а детей жалею. И вы меня простите. Так уж вышло.

Глава 29

Жена вернулась к Галактиону, но этим дело не поправилось. Супруги встретились затаенными врагами, прикованными на одну цепь. Серафима понимала одно, именно, что все это хуже того, если б муж бранил ее и даже бил. Побои и брань проходят и забываются, а у них было хуже. Галактион был чужим человеком в своем доме и говорил только при детях. С женой он не сказал двух слов, и это молчание убивало ее больше всего. Она даже боялась думать о том, что будет дальше, и чувствовала себя живым покойником. И раньше муж не любил ее по-настоящему, но жалел, и она чувствовала себя покойно. Сей-

час Галактион сидел почти безвыходно дома и все работал в своей комнате над какими-то бумагами, которые приносил ему Штофф. Изредка он выезжал только по делам, чаще всего к Стабровскому.

Чужие люди не показывались у них в доме, точно избегали зачумленного места. Раз только зашел «сладкий братец» Прасковьи Ивановны и долго о чем-то беседовал с Галактионом. Разговор происходил приблизительно в такой форме:

— Заехал я к вам, Галактион Михеич, по этой самой опеке, — говорил Голяшкин, сладко жмуря глаза. — Хотя вы и отверглись от нее, а между прочим, и мы не желаем тонуть одни-с. Тонуть, так вместе-с.

— Ах, мне все равно! — соглашался Галактион. — Делайте, как знаете!

— На манер Ильи Фирсыча Полуянова?

— Опять-таки дело ваше.

— Так-то оно так, а все-таки будто и неприятно, ежели, например, в острог. Прасковья Ивановна наказали вам сказать, что большие слухи ходят по городу. Конечно, зря народ болтает, а оно все-таки...

— Послушайте, мне решительно все равно. Понимаете?

У Голяшкина была странная манера во время разговора придвигаться к собеседнику все ближе и ближе, что сейчас как-то особенно волновало Галактиона. Ему просто хотелось выгнать этого сладкого братца, и он с большим трудом удерживался. Они стояли друг против друга и смотрели прямо в глаза.

— Как же я скажу Прасковье Ивановне? — неожиданно спросил Голяшкин?

— А так и скажите, что пропадай все.

— Позвольте-с, как же это так-с? Прасковья Ивановна...

Галактион неожиданно вспылил, затопал ногами и крикнул:

— Да что ты из меня жилы тянешь... Уходи, ежели хочешь быть цел! Так и своей Прасковье Ивановне скажи! Одним словом, убирайся ко всем чертям!

— Так-с. Так вы вот как-с, — бормотал Голяшкин, пятясь к двери. — Да-с. Очень вежливо...

Галактион остановил его и, взяв за борт сюртука, проговорил задыхавшимся голосом:

— Ну, чего ты боишься, сахар? Посмотри на себя в зеркало: рожа прямо на подсудимую скамью просится. Все там будем. Ну, теперь доволен?

— Вы-то как знаете, Галактион Михеич, а я не согласен, что касаемо подсудимой скамьи. Уж вы меня извините, а я не согласен. Так и Прасковье Ивановне скажу. Конечно, вы вовремя из дела ушли, и вам все равно... да-с. Что касаемо опять подсудимой скамьи, так от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Это вы правильно. А Прасковья Ивановна говорит...

— Вон, дурак!

Этот визит все-таки обеспокоил Галактиона. Дыму без огня не бывает. По городу благодаря полуяновскому делу ходили всевозможные слухи о разных других назревавших делах, а в том числе и о бубновской опеке. Как на беду, и всеведущий Штофф куда-то провалился. Впрочем, он скоро вернулся из какой-то таинственной поездки и приехал к Галактиону ночью, на огонек.

— У тебя был Голяшкин? — спрашивал немец без всяких предисловий.

— Был.

— Он сладкий дурак и больше ничего.

— Знаю. Я ему это сам сказал. Все-таки знаешь...

— Э, вздор!.. Так, зря болтают. Я тебе скажу всего одно слово: Мышников. Понял? У нас есть адвокат Мышников. У него, брат, все предусмотрено... да. Я нарочно заехал к тебе, чтобы предупредить, а то ведь как раз горячку будешь пороть.

Уходя, Штофф пришаркнул своею хромою ногой, подмигнул и проговорил:

— А какая есть девчурка в Кунаре... пхе!..

— Ну, брат, я этими делами не занимаюсь. Отваливай.

— Да ты спятил с ума, братец?

— Около того.

— Ты глуп, несчастный!

— Пусть.

Галактион действительно прервал всякие отношения с пьяной запольской компанией, сидел дома и бывал только по делу у Стабровского. Умный поляк долго приглядывался к молодому мельнику и кончил тем, что поверил в него. Стабровскому больше всего нравились в Галактионе его раскольничья сдержан-

ность и простой, но здоровый русский ум.

— Мне почему-то кажется, что мы будем большими друзьями, — проговорил однажды Стабровский, пытливо глядя на Галактиона. — Одним словом, вы будете нашим вполне.

— Благодарю, Болеслав Брониславич, только оно как будто и не подходит: вы — барин, а я — мужик.

Стабровский только улыбнулся, взял Галактиона под руку и проговорил:

— Идемте завтракать.

Это простое приглашение, как Галактион понял только впоследствии, являлось своего рода посвящением в орден наших. В официальные дни у Стабровского бывал целый город, а запросто бывали только самые близкие люди.

Завтрак был простой, но Галактиону показалось жуткой царившая здесь чопорность, и он как-то сразу возненавидел белобрысую англичанку, смотревшую на него, как на дикаря. «Этакая выдра!» — думал Галактион, испытывая неловкое смущение, когда англичанка начинала смотреть на него своими ры-

бьими глазами. Зато Устенька так застенчиво и ласково улыбалась ему.

— Это тоже ваша дочь? — спросил Галактион.

— Нет, это просто славяночка Устенька, дочь Тараса Семеныча. Она учится вместе с моей Дидей.

Маленькая полечка все время наблюдала гостя и, когда он делал что-нибудь против этикета, сдержанно улыбалась и вопросительно смотрела на гувернантку, точно на каланчу, которая могла каждую минуту выкинуть сигнал тревоги. Англичанка на этот немой вопрос поднимала свои сухие плечи и рыжие брови, а потом кивала головой с грацией фарфоровой куклы, что в переводе значило: мужик. Устенька отлично понимала этот немой язык и волновалась за каждую неловкость Галактиона: он гремел чайною ложечкой, не умел намазать масла на хлеб, решительно не знал, что делать с сандвичами. Когда Галактион начал есть рыбу ножом, англичанка величественно поднялась и павой выплыла из столовой. Дидя бросилась за ней, захватив рот рукой. Но отец приказал ей

вернуться и сделал строгое лицо. Устенька сидела вся красная, опустив глаза. Она понимала, что Стабровский делается усиленно вежливым с гостем, чтобы тот не заметил устроенной англичанкой демонстрации. Он дошел до того, что даже сам начал есть рыбу с ножа. Это уже окончательно переломило терпение Диди, — девочка расхохоталась неудержимым детским хохотом и убежала в детскую, где англичанка уже укладывала свои чемоданы.

— Я попала куда-то к самоедам... — объясняла мисс Дудль.

В столовой оставались только хозяин, гость и Устенька.

— Славяночка, ты будешь угощать нас кофе, — говорил Стабровский с какою-то особенною польскою ласковостью.

А Галактион сидел и не понимал, в чем дело, хотя смутно и догадывался, что проклятая англичанка уплыла неспроста. Хохот Диди тоже его смущал.

Вывел всех из неловкого положения доктор Кочетов, который явился с известием, что Бубнов умер сегодня ночью.

— Самое лучшее, что он мог сделать, — заметил Стабровский, делая брезгливое движение, — да. Для чего такие люди живут на свете?

— И все-таки жаль, — думал вслух доктор. — Раньше я говорил то же, а когда посмотрел на него мертвого... В последнее время он перестал совсем пить, хотя уж было поздно.

— Тут была какая-то темная история. А впрочем, не наше дело. Разве может быть иначе, когда все удовольствие у этих дикарей только в том, чтоб напиться до свинства? Культурный человек никогда не дойдет до такого положения и не может дойти.

Известие о смерти несчастного Бубнова обрадовало Галактиона: эта смерть развязывала всем руки, и проклятое дело по опеке разрешалось само собой. У него точно гора свалилась с плеч.

— Девочка, принесите мне коньячку, — просил доктор Устеньку.

Он, по обыкновению, был с похмелья, что являлось для него нормальным состоянием. Устенька достала из буфета бутылку финь-

шампань и поставила ее на стол. Доктор залпом выпил две больших рюмки и сразу осовел.

— Да, был человек, и нет человека, — бормотал он. — А все-таки жаль разумное божье созданье.

Потом он неожиданно обратился к Галактиону и с пьяною улыбкой проговорил:

— А вы, ваше степенство, небось рады, да? Что же, это в порядке вещей: сегодня Бубнов умер от купеческого запоя, а завтра умрем мы с вами. Homo sum, nihil humanum alienum puto...[48]

Доктор в доме Стабровского был своим человеком и желанным гостем, как врач и образованный человек. Даже мисс Дудль благоволила к нему, и Стабровский любил подшутить над нею по этому поводу, когда не было девочек. Доктору прощалось многое, чего не могли позволить никому другому. Так, выпивши, он впадал в обличительное настроение и начинал громить «плутократов». Особенно доставалось Штоффу. Стабровский хохотал до слез, когда доктор бывал в ударе. Сейчас Штоффа не было, а доктор сосредото-

чил свое внимание на Галактионе.

— Ну что, начинающий плутократ, как дела?

— Ничего, доктор, понемножку.

— Плутовать понемножку невыгодно. Вот учитесь у Болеслава Брониславича, который ловит только крупную рыбу, а мелкие плуты кончают, как Полуянов.

— Послушайте, доктор, прийти в дом и называть хозяина большим плутом... — заговорил Стабровский, стараясь сохранить шутливый тон. — Это... это...

— Вы хотите сказать, что это свинство? — поправил доктор. — Может быть, вы хотите к этому прибавить, что я пьяница? И в том и в другом случае вы будете правы, хотя... Я еще выпью плутократского коньячку.

— А потом опять будете нас обличать?

— И буду, всегда буду. Ведь человек, который обличает других, уже тем самым как бы выгораживает себя и садится на отдельную полочку. Я вас обличаю и сам же служу вам. Это напоминает собаку, которая гоняется за собственным хвостом.

Галактион только выжидал случая, чтоб

уйти. Завтрак был кончен, а слушать пьяного доктора не представляло удовольствия.

— А, испугался! — провожал его доктор. — Не понравилось... Хха! А вы, ваше степенство, заверните к Прасковье Ивановне. Сия особа очень нуждается в утешении... да. У ней такое серьезное горе... хха!..

В передней Галактиона догнала Устенька и шепнула:

— Вы никогда, никогда не ешьте рыбы ножом. Это не принято. И чайною ложкой не стучите... и хлеб отламывайте маленькими кусочками, а не откусывайте прямо от ломтя.

— Хорошо, я не буду.

Галактион поднял девочку и поцеловал.

— Тоже нельзя, — строго заметила она. — Я уж большая.

Этот первый завтрак служил для Галактиона чем-то вроде вступительного экзамена. Скоро он почувствовал себя у Стабровских если не своим, то и не чужим. Сам старик только иногда конфузил его своею изысканною внимательностью. Галактион все-таки относился к магнату с недоверием. Их окончательно сблизил случайный разговор, когда Галак-

тион высказал свою заветную мечту о пароходстве. Стабровский посмотрел на него прищуренными глазами, похлопал по плечу и проговорил:

— Вот это я понимаю... да! Очень хорошо, молодой человек! Я и сам об этом подумывал, да одному не разорваться. Мы еще потолкуем об этом серьезно. А вы далеко пойдете, Галактион Михеич. Именно нам, русским, недостает разумной предприимчивости.

Глава 30

Полуяновское дело двигалось вперед, как ком снегу, нарастая от собственного движения. В первую минуту, подавленный неожиданностью всего случившегося, бывший исправник повел свое дело, как и другие в его положении, исходя из принципа, что пропадать, так пропадать не одному, а вместе с другими. Результатом этой психологии явился оговор десятков прикосновенных так или иначе к его делу лиц. Следователь выбивался из сил, вызывая десятки свидетелей. Полуянов торжествовал, что хотя этим путам мог досадить тому обществу, которое выдавало его головой. Но через полгода в нем про-

изошел какой-то таинственный внутренний переворот. Он начал молиться, притих и вообще смирился. Даже самая наружность изменилась: пьяный опух исчез, отросшая борода придала старческое благообразие, даже голос сделался другим. В одно прекрасное утро Полуянов признался следователю, что больше половины привлеченных к делу лиц оговорил по злобе. Следователь был огорошен, потому что хоть начинай дело снова.

— Вы уж как там знаете, а я не могу, — упрямо повторял Полуянов на все увещания следователя. — Судите меня одного, а другие сами про себя знают... да. Моя песенка спета, зачем же лишний грех на душу брать? Относительно себя ничего не утаю.

Странные отношения теперь установились у Полуянова к жене. Он ужасно ее жалел и мучился постоянно мыслью о ее судьбе. Харитина ежедневно ездила в острог и всячески поддерживала новое настроение в муже.

— Молода ты, Харитина, — с подавленною тоской повторял Полуянов, с отеческой нежностью глядя на жену. — Какой я тебе муж был? Так, одно зверство. Если бы тебе настоя-

щего мужа... Ну, да что об этом говорить! Вот останешься одна, так тогда устраивайся уж по-новому.

— Перестань ты, Илья Фирсыч... Еще неизвестно, кто кого переживет, а раньше смерти не умирают.

Раз Полуянов долго-долго смотрел на жену и проговорил со слезами на глазах:

— За одно благодарю бога, именно, что у нас нет детей... да. Ты только подумай, Харитина, что бы их ждало впереди? Страшно подумать. Добрые люди показывали бы пальцами... Благодарю господа за его великую милость!

— Ты меня не любишь, Илья Фирсыч, — говорила Харитина, краснея и опуская глаза; она, кажется, никогда еще не была такою красивой, как сейчас. — Все желают детей, а ты не хочешь.

— Перестань, дурочка.

На Полуянова теперь часто находило слезливое настроение, что очень трогало Харитину. Ей делалось жаль и себя, и мужа, и что-то такое, что не было изжито. Иногда на нее находила жажда какого-то истерического пока-

яния — броситься в ноги мужу и каяться, каяться. Но, перебирая свою жизнь, она не находила ничего подходящего, за исключением отношений к Галактиону, да и здесь ничего серьезного не было, кроме самой обыкновенной девичьей глупости. Она знала, что муж ей изменял на каждом шагу, но сама она ни разу ему не изменила. Впрочем, последнее могло быть каждую минуту, если бы подвернулся подходящий случай. Мысль о Галактионе опять начала посещать Харитину, как она ни старалась ее отогнать. Это ее мучило, и при всей жажде покаяния она именно этого никак не могла сказать мужу. Затем ее начинало злить, что он вернулся из поездки и не кажет к ней глаз. О разрыве его с Прасковьей Ивановной она знала и поэтому не могла понять, почему он не хочет ее видеть. Она надеялась, что Галактион обратится к ней за помощью, чтобы помириться с женой, но и тут он обошелся без нее. Он вообще не хотел ее знать, и это ее злило.

Харитине доставляла какое-то жгучее наслаждение именно эта двойственность: она льнула к мужу и среди самых трогательных

сцен думала о Галактионе. Она не могла бы сказать, любит его или нет; а ей просто хотелось думать о нем. Если б он пришел к ней, она его приняла бы очень сухо и ни одним движением не выдала бы своего настроения. О, он никогда не узнает и не должен знать того позора, какой она переживала сейчас! И хорошо и худо — все ее, и никому до этого дела нет.

Даже накануне суда Харитина думала не о муже, которого завтра будут судить, а о Галактионе. Придет он на суд или не придет? Даже когда ехала она на суд, ее мучила все та же мысль о Галактионе, и Харитина презирала себя, как соучастницу какого-то непростительного преступления. И все-таки, войдя в залу суда, она искала глазами не мужа.

Судить Полуянова выехало отделение недавно открытого екатеринбургского окружного суда. Это была новость. И странно, что первым делом для нового суда попало по списку дело старого сибирского исправника Полуянова. Весь город сбежался смотреть на новый суд и старого грешника, так что не хватало места и для десятой доли желающих.

Всех больше набралось своей братии — купцов. Полуянов занял скамью подсудимых с достоинством, как человек, который уже вперед пережил самое худшее. Это настроение изменило ему только тогда, когда он узнал в публике лицо жены. Он как-то весь съежился и точно сделался меньше. Он не чувствовал на себе теперь жадного внимания толпы, а видел только ее одну, цветущую, молодую, жизнерадостную, и понял то, что они навеки разлучены, и что все кончено, и что будут уже другие жить. Его охватила жгучая тоска, и он с ненавистью оглядел толпу, для которой еще недавно был своим и желанным человеком.

«А, вы вот как! — сверлило у Полуянова в мозгу, так что он ощущал физическую боль. — Подождите!»

Рядом с Харитиной на первой скамье сидел доктор Кочетов. Она была не рада такому соседству и старалась не дышать, чтобы не слышать перегорелого запаха водки. А доктор старался быть с ней особенно любезным, как бывают любезными на похоронах с дамами в трауре: ведь она до некоторой степени являлась тоже героиней настоящего судного дня.

После подсудимого публика уделяла ей самое большое внимание и следила за каждым ее движением. Харитина это чувствовала и инстинктивно приняла бесстрастный вид.

— Не вредно, — повторял доктор, ухмыляясь. — Да-а... Suum cuique.[49]

Это скрытое торжество волновало и сердило Харитину, и ей опять делалось жаль мужа. Она даже насильно вызывала в памяти те нежные сцены, которые происходили у нее с мужем в остроге. Ей хотелось пожалеть его по-хорошему, пожалеть, как умеют жалеть любящие женщины, а вместо этого она ни к селу ни к городу спросила доктора:

— Доктор, вы не видали Галактиона?

— Какого Галактиона, madame?

— Ах, какой вы! Ну, мой зять, Колобов.

— А!.. Едва ли он будет здесь. У них открытие банка.

В следующий момент Харитине сделалось совестно за свой вопрос. Что ей за дело до Галактиона? Если б его и совсем не было на свете, так для нее решительно все равно. Пусть открывает банк, пусть строит свои пароходы, — она все равно останется одна. Ее еще

первый раз охватило это щемящее чувство одиночества. Ведь она такая молодая, ведь она еще совсем не жила, а тут точно затворяется под самым носом какая-то дверь, которая отнимет и небо, и солнце, и свет. А виновник ее одиночества сидел на скамье подсудимых такой несчастный, жалкий, даже не вызывавший в ней прежних добрых чувств, точно он был далеко-далеко и точно он был ее мужем давно-давно. Харитину начало охватывать молчаливое бешенство и к этому жалкому арестанту, который смел называть себя ее мужем, и к этому бессовестному любопытству чужой толпы, и к судьям, и к присяжным. Ей хотелось крикнуть что-то такое обидное для всех, всех выгнать и остаться одной.

В течение целого дня происходил допрос свидетелей, которых вызывали без конца. С Полуяновым сделался какой-то новый переворот, когда он увидел лицом к лицу своих обвинителей. Он побледнел, подтянулся и на время сделался прежним Полуяновым. К нему вернулось недавнее чувство действительности.

— Все, что я показывал у господина следо-

вателя, неверно, — заявил он спокойно и твердо. — Да, неверно.

В Полуянове вспыхнула прежняя энергия, и он вступил в ожесточенный бой с свидетелями, подавляя их своею находчивостью, опытом и смелостью натиска. Потухшие глаза заблестели, на лице выступили красные пятна, — это был человек, решившийся продать дорого свою жизнь.

Этот поворот оживил всех. Старый волк показал свои зубы. Особенно досталось попу Макару. В публике слышался смех, когда он с поповскою витиеватостью давал свое показание. Председатель принужден был остановить проявление неуместного веселья.

— Как же вы могли позволить, батюшка, чтобы Полуянов привез покойницу к вам на погреб? — допрашивал защищающий Полуянова адвокат. — Ведь в своем селе вы большая сила, первый человек.

— А что же я поделаю с ним? — отвечал вопросом о. Макар. — По-нашему, по-деревенски, так говорят: стогом мыши не задавишь.

Публика опять смеялась, так что председатель пригрозил удалить из залы заседания

всех. Харитина точно вся приподнялась и вызывающе оглядывала соседей. Чему они радуются?

В зале делалось душно, особенно когда зажгли лампы. Свидетелям не было конца. Все самые тайные подвиги Полуянова выплывали на свет божий. Свидетельствовала крестьяне, мещане, мелкие и крупные купцы, какие-то бабы-торговки, — все это были данники Полуянова, привыкшие ему платить из года в год. Страница за страницей развертывалась картина бесконечного сибирского хищения. Многое Полуянов сам забыл и с удивлением говорил:

— Что же, может быть... Все может быть. А я не помню... Да и где все одному человеку упомнить?

Было два-три случая артистического взяточничества, и Полуянов сам поправлял свидетелей, напоминая подробности. Он особенно напирал на то, что брал взятки и производил вымогательства, но председатель его остановил.

— Это к делу не относится... да-с.

Потом был сделан на два часа перерыв. Ха-

ритина добилась свидания с мужем.

— Нет, погоди, я им еще покажу! — повторял он, сжимая кулаки. — Будут помнить Полуянова!.. А около тебя кто там сидит?

— Доктор Кочетов.

— Ты у меня смотри!

Отдохнув, Полуянов повел атаку против свидетелей с новым ожесточением. Он требовал очных ставок, дополнительных допросов, вызова новых свидетелей, — одним словом, всеми силами старался затянуть дело и в качестве опытного человека пользовался всякою оплошностью. Больше всего ему хотелось притянуть к делу других, особенно таких важных свидетелей, как о. Макар и запольские купцы.

Доктор опять сидел рядом с Харитиной и слегка раскачивался.

— Это конец древней истории Заполья, — говорил он Харитине, забывая, что она жена подсудимого. — Средней не будет, а прямо будем лупить по новой.

— Вы-то чему радуетесь?

— Я-то? Я — публика.

Потом поднялся какой-то глухой шум и

доктор шепнул соседке:

— Вот и новая история привалила.

В залу, — несмотря на давку, была впущена услужливым сторожем целая толпа. Это был новый Коммерческий Зауральский банк в полном составе. Харитина сразу узнала и Май-Стабровского, и Драке, и Штоффа, и Шахму, и Галактиона. Ей показалось, что последний точно прятался за другими. Банковская компания приехала в суд прямо с обеда по случаю открытия банка, и все имели празднично-рассеянный вид, точно приехали на именины. Последним сквозь толпу пробился Харитон Артемьич. Он был пьян и глупо улыбался, обводя публику ничего не видевшими глазами. Кстати, за обедом, в качестве почетного гостя, он чуть не побил Мышникова, который поэтому не явился в суд вместе с другими.

— Вот у меня какие зятья! — хрипел Малыгин, указывая на скамью подсудимых. — Семейная радость, одним словом.

Его с трудом увели. На подъезде неистовый старик все-таки успел подраться с судейским курьером и сейчас же заплатил за оби-

ду.

Харитина вся выпрямилась, когда почувствовала присутствие Галактиона, — она именно чувствовала, а не видела его. Ей сделалось и обидно и стыдно за него, за то, что он ничего не понимает, что он мог обедать с своими банковскими, когда она здесь мучилась одна, что и сейчас он пришел в это страшное место с праздничным хмелем в голове. Другим-то все равно, и ему тоже. Даже Полуянов не сделал бы так. Затем она чувствовала, что он смотрит на нее и жалеет, и ей захотелось вдруг плакать, броситься к нему на шею, убежать. Он действительно подошел к ней, когда доктора зачем-то вызвал судейский курьер, сел рядом и молча пожал ей руку. Потом он наклонился к ней и шепнул:

— Вот нас с тобой так же будут судить, только вместе.

Она со страхом отодвинулась от него, а он смотрел на нее и улыбался такою недоброю улыбкой.

Глава 31

Полуянов был осужден. Его приговорили к ссылке в не столь отдаленные места Сибири, что было равносильно возвращению на родину. Он опять упал духом и вместо последнего слова расплакался самым глупым образом. Его едва успокоили. В момент приговора Харитины в зале суда уже не было. Она перестала интересоваться делом и уехала с доктором утешать Прасковью Ивановну.

— Мы теперь обе овдовели, — говорила она, целуя подругу, — ты по-настоящему, а я по-соломенному. Ах, как у тебя хорошо здесь, Прасковья Ивановна! Все свое, никто тебя не потревожит: сама большая, сама маленькая.

— В чужом рте кусок велик, — уклончиво ответила Прасковья Ивановна.

Окончания дела должен был ждать в суде доктор. Когда дамы остались одни, Харитина покачала головой и проговорила:

— Сопьется вконец паренек-то.

— Близко того дело.

— Знаешь что, Прасковья Ивановна, беспременно его надо женить.

Эта мысль очень понравилась обеим, и они принялись обсуждать ее на все лады. За

невестами в Заполье дело не станет. Вот, например, хоть взять Нагибина — куда он квасит дочь? Денег у него тысяч триста, а дочь-то одна. Положим, что она рябовата и немного косит, — ну, да доктору с женина лица не воду пить. Умный человек и сам поймет, что с голою красавицей наплачешься. Жалованьишко-то куда не велико, а тут и одень, и обуй, и дом поставь, и гостей принимай. Трудненько женатому-то с голою женой жить, а у Нагибиной всего много. В самый раз доктору нагибинская дочь, хотя она и в годках. Сказывают, и с ноготком девушка, — попридержит мужа, когда нужно.

В самый разгар этих матримониальных соображений вернулся из суда доктор с известием об осуждении Полуянова. Харитина отнеслась к этой новости почти равнодушно, что удивило даже Прасковью Ивановну.

— Какая-то ты каменная, Харитина. Ведь не чужой человек, а муж.

— Был муж, а теперь арестант... Что же, по-твоему, я пойду за ним с арестантскою партией в ссылку... надену арестантский халат и пойду? Покорно благодарю!

— Все-таки... Ты бы хоть съездила к нему в острог.

— А если я не хочу? Не хочу, и все тут... И домой не хочу и к отцу не пойду... никуда!

— Что же ты будешь делать?

— Не знаю.

Доктор присутствовал при этой сцене немым свидетелем и только мог удивляться. Он никак не мог понять поведения Харитины. Разрешилась эта сцена неожиданными слезами. Харитина села прямо на пол и заплакала. Доктор инстинктивно бросился ее поднимать, как человека, который оступился.

— Не надо... не надо... — шептала Харитина, закрывая лицо руками и защищаясь всем своим молодым телом. — Ах, какой вы глупый, доктор! Ведь я еще не жила... совсем не жила! А я такая молодая, доктор! Оставьте меня, доктор! Какая я гадкая... Понимаете, я ненавижу себя!.. Всех ненавижу... вас...

Прасковья Ивановна сделала доктору глазами знак, чтоб он уходил.

— Муж — арестант и жена тоже, значит, арестантка, — повторяла Харитина, ломая в отчаянии руки. — Я не хочу... не хочу... не хо-

чу!

Прасковья Ивановна долго отваживалась с ней и никак не могла ее успокоить.

— Что я такое? Ни девка, ни баба, ни мужняя жена, — говорила Харитина в каком-то бреду. — А мужа я ненавижу и ни за что не пойду к нему! Я выходила замуж не за арестанта!

— Все-таки нужно съездить к нему в острог, — уговаривала Прасковья Ивановна. — После, как знаешь, а сейчас нехорошо. Все будут пальцами на тебя показывать. А что касается... Ну, да за утешителями дело не станет!

— Никого мне не нужно!

— А Галактион?.. Ведь он был на суде и сидел рядом с тобой. Что он тебе говорил?

Харитина вспомнила предсказание Галактиона и засмеялась. Вот придумал человек!.. А все-таки он пришел в суд, и она уже не чувствовала убивавшего ее одиночества.

Придумывая, чем бы развлечь гостью, Прасковья Ивановна остановилась на блестящей мысли, которая поразила ее своею неожиданностью.

— Харитина, знаешь что: мы ищем богатую невесту доктору, а невеста сама его ждет. Знаешь кто? Будем сватать за него твою сестру Агнию. Самому-то ему по мужскому делу неудобно, а высватаю я.

— Ты?

— Я. Думаешь, испугалась, что говорят про Галактиона?

— Да тебя мамынька на порог не пустит.

— А вот и пустит. И еще спасибо скажет, потому выйдет так, что я-то кругом чиста. Мало ли что про вдову наболтают, только ленивый не скажет. Ну, а тут я сама объявлюсь, — ежели бы была виновата, так не пошла бы к твоей мамыньке. Так я говорю?.. Всем будет хорошо... Да еще что, подошлем к мамыньке сперва Серафиму. Еще того лучше будет... И ей будет лучше: как будто промежду нас ничего и не было... Поняла теперь?

Этот смелый проект совсем захватил Харитину, так что она даже о своем горе позабыла.

— А доктор-то как? — думала она вслух. — Вдруг он не согласится?.. Агния в годках, да и лицом не дошла.

— Ну, это уж мое дело! Я уговорю доктора,

а ты к Серафиме съезди... да.

Харитина настолько успокоилась, что даже согласилась съездить к мужу в острог. Полуянов был мрачен, озлоблен и встретил жену почти враждебно.

— Спасибо, милая, что не забываешь мужа, — говорил он с притворным смирением. — Аще бог соединил, человек да не разлучает... да.

— Не понимаю я, Илья Фирсыч, какие ты загадки загадываешь, — равнодушно ответила Харитина.

— Не понимаешь? Для других я лишенный прав и особенных преимуществ, а для тебя муж... да. Другие-то теперь радуются, что Полуянова лишили всего, а сами-то еще хуже Полуянова... Если бы не этот проклятый поп, так я бы им показал. Да еще погоди, доберусь!.. Конечно, меня сошлют, а я их оттуда добывать буду... хха! Они сейчас радуются, а потом я их всех подберу.

Харитина слушала Полуянова, и ей казалось, что он рехнулся и начинает заговариваться. Свидание кончилось тем, что он поссорился с женой и даже, затопал на нее нога-

ми.

— И до тебя доберусь! — как-то зашипел он. — Ты думаешь, я совсем дурак и ничего не вижу? Своими руками задушу.

— Руки коротки, — дерзко ответила Харитина и ушла, не простившись.

На другой день Харитина получила от мужа самое жалкое письмо. Он униженно просил прощения и умолял навестить его. Харитина разорвала письмо и не поехала в острог. Ее теперь больше всего интересовала затея женить доктора на Агнии. Серафима отнеслась к этой комбинации совершенно равнодушно и только заметила:

— Хочется тебе, Харитина, вязаться в такое дело... Да и жених-то ваш горькая пьяница.

— Да ты только мамыньке скажи, Серафима.

— Говори сама.

В сущности этот план задел в Серафиме неистребимую женскую слабость, и, поломавшись, она отправилась к матери для предварительных переговоров. Анфуса Гавриловна даже испугалась, когда было упомянуто имя ненавистной Бубнихи.

— Мамынька, ведь нам с ней не детей крестить, — совершенно резонно объяснила Серафима. — А если бог посылает Агнии судьбу... Не век же ей в девках вековать. Пьяница проспится, а дурак останется дураком.

— Ох, боюсь я, Сима... Как-то всех боюсь. Это тебя Харитина подослала?

— Хоть бы и она, мамынька. Дело-то такое, особенное.

Два дня думала Анфуса Гавриловна, плакала, молилась, а потом послала сказать Серафиме, что согласна.

В малыгинском доме поднялся небывалый переполох в ожидании «смотрин». Тут своего горя не расхлебаешь: Лиодор в остроге, Полуянов пойдет на поселение, а тут новый зять прикачнулся. Главное, что в это дело впуталась Бубниха, за которую хлопотала Серафима. Старушка Анфуса Гавриловна окончательно ничего не понимала и дала согласие на смотрины в минуту отчаяния. Что же, посмотрят — не съедят.

Как согласился на эту комедию доктор Кочетов, трудно сказать. Он по прежнему бывал у Прасковьи Ивановны) по вечерам, как и

раньше, пил бубновскую мадеру и слушал разговоры о женитьбе. Сначала эти разговоры поразили его своею нелепостью, а потом начали развлекать. Надо же чем-нибудь развлекаться. Прасковья Ивановна с тактом опытной женщины не называла долго невесты по имени, поджигая любопытство подававшегося жениха. Доктор шутил, пил мадеру и чувствовал, что его охватывает еще неиспытанное волнение, а матримониальные разговоры создавали сближающую обстановку.

Раз, когда доктор был особенно в ударе, Прасковья Ивановна поймала его на слове и повезла.

— Интересно, что это будет за комедия, — посмеивался доктор.

— А вот увидите... Будьте смелее. Ведь девушка еще ничего не понимает, всего стесняется, — понимаете?

— Хорошо, хорошо... Знаете русскую поговорку: свату первая палка.

Доктор был неприятно удивлен, когда Прасковья Ивановна подвезла его к малыгинскому дому. Он хотел даже улизнуть с подъезда, но было уже поздно.

— Глупости! — решительно заявляла Прасковья Ивановна, поддерживая доктора за руку. — Для вас же хлопочу. Женитесь и человеком будете. Жена-то не даст мадеру пить зря.

Малыгинский дом волновался. Харитон Артемьич даже не был пьян и принял гостей с озабоченною солидностью. Потом вышла сама Анфуса Гавриловна, тоже встревоженная и какая-то несчастная. Доктор понимал, как старушке тяжело было видеть в своем доме Прасковью Ивановну, и ему сделалось совестно. Последнее чувство еще усилилось, когда к гостям вышла Агния, сделавшаяся еще некрасивее от волнения. Она так неловко поклонилась и все время старалась не смотреть на жениха.

— А у меня все поясница к ненастью тоскует, — завел было Харитон Артемьич политичный разговор, стараясь попасть в тон будущему зятю доктору.

— И с чего бы, кажется, ей болеть?

Прасковья Ивановна шушукалась с невестой и несколько раз без всякой побудительной причины стремительно начинала ее целовать. Агния еще больше конфузилась, и это

делало ее почти миловидной. Доктор, чтобы выдержать свою жениховскую роль до конца, подошел к ней и заговорил о каких-то пустяках. Но тут его поразили дрожавшие руки несчастной девушки. «Нет, уж это слишком», — решил доктор и торопливо начал прощаться.

— Куда же это вы? — каким-то упавшим голосом заговорил хозяин. — Выпили бы мадерцы... Я от поясницы грешным делом мадерцой лечусь.

— Как-нибудь в другой раз, Харитон Артемьич, — бормотал доктор.

— Что, понравилась вам невеста? — спрашивала дорогой Прасковья Ивановна, еще охваченная свадебным волнением.

— Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», будущая посаженая мать, — ответил доктор, крепко притягивая к себе сваху за талию, — они ехали в одних санях, — а во-вторых, я хочу мадеры, чтобы вспрыснуть удачное начало.

В передней, помогая раздеваться свахе, доктор обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками отделялись корот-

кие прядки волос. Прасковья Ивановна кокетливо ударила его по руке и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«А ведь посаженая маменька того...» — думал доктор, расхаживая в ожидании мадеры по гостиной.

Прасковья Ивановна заставила себя подождать и вышла по-домашнему, в шелковом пенюаре. Ставя на стол бутылку какой-то заветной мадеры, она с кокетливой строгостью проговорила:

— Вот что, посаженый сынок, от тебя-то я не ожидала, что ты такой повеса... Смотри, я строгая!

— Мамынька, я больше не буду.

По возбужденному лицу Прасковьи Ивановны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на доктора, пока он залпом выпил две рюмки.

— Ну, так что же, как невеста? — спросила она изменившимся голосом, вскидывая на доктора влажные глаза. — Девушка славная.

— Мне главное — сколько приданого... Будемте говорить серьезно, мамынька. Уговор

на берегу.

— Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился. У Малыгиных для всех зятьев один порядок: после венца десять тысяч, а после смерти родителей по разделу с другими.

— А нельзя до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Ивановна лукаво посмотрела на дурачившегося доктора и тихо засмеялась.

— Ах, повеса, повеса! — шептала она, оказывая слабое сопротивление, когда доктор обнял ее и начал целовать. — Я сейчас закричу... Как вы смеете, нахал?.. Я... я...

Глава 32

Коммерческий Зауральский банк был открыт. Помещался он на главной Московской улице в большем двухэтажном доме, отделанном специально для этой цели. Великолепный подъезд, отделанная дубом передняя, широкая лестница, громадный зал с дубовыми конторками для служащих, кассирская с металлической сеткой, комната правления с зеленым столом и солидною мебелью, приемная, — одним словом, все в солидно-деловом,

банковском стиле. Когда Галактион вошел сюда в первый раз, его охватило какое-то особенное чувство почти детского страха. Да, здесь будут вершиться миллионные дела, решаться судьба громадного края и сосредоточиваться самые жгучие интересы всех прикосновенных к коммерции людей.

Правление нового банка организовано было раньше. В него вошли членами Стабровский, Штофф, Драке, Галактион, Шахма и Мышников. По настоянию Стабровского, управляющим банка был избран Драке. Галактион отлично понимал политику умного поляка, не хотевшего выставлять себя в первую голову и выдвинувшего на ответственный пост безыменного и для всех безразличного немца. Это было сделано замечательно остроумно, как оказалось впоследствии, потому что все члены правления в затруднительных случаях ссылались на упрямого немца, с которым никак не сладишь. Мышников, кроме своего членства, еще получил звание юрисконсульта. Самый щекотливый вопрос был на первое время относительно членских взносов. Из всех членов только

Стабровский и Шахма были людьми богатыми и не стеснялись средствами. Затем немцы где-то раздобылись, и Мышников тоже. Оставался один Галактион, у которого ничего не было.

— Это пустяки, — успокаивал его Стабровский. — Мы это дело устроим.

Стабровский сам предложил Галактиону тридцать тысяч, обеспечив себя, конечно, расписками и домашними векселями.

— Ведь это мне решительно ничего не стоит, — объяснял он смущавшемуся Галактиону. — Деньги все равно будут лежать, как у меня в кармане, а года через три вы их выплатите мне.

Получалось все-таки неловкое положение, и Галактион почувствовал те невидимые путы, которыми связывал его Стабровский. Ведь даром не оказывают такого широкого доверия и не дают таких денег. Но другого исхода не было, и Галактион вынужден был принять эту подачку. Кстати, эта комбинация оставила в его душе затаенное и тяжелое чувство по отношению к благодетелю. А тут еще Мышников, который почему-то невзлюбил Галак-

тиона и позволял себе делать какие-то темные намеки относительно таинственного происхождения членского взноса Галактиона. Определенного никто ничего не знал, даже Штофф, но Галактион чувствовал себя первое время очень скверно, как человек, попавший не в свою компанию. Мышников только из страха перед Стабровским не смел высказывать про Галактиона всего, что думал о нем про себя. Новый юрисконсульт отлично понимал, что Стабровский «создает» Галактиона в каких-то своих личных интересах и целях. Это его злило, потому что Мышников завидовал всякому успеху, а тут еще являлось глухое соперничество по отношению к Харитине. Одним словом, с первого же раза Мышников и Галактион сделались настоящими врагами и взаимно ненавидели друг друга.

— А знаешь, что я тебе скажу, — заметил однажды Штофф, следивший за накипавшею враждой Мышникова и Галактиона, — ведь вы будете потом закадычными друзьями... да.

— Гусей по осени считают, Карл Карлыч.

— Будем посмотреть, Галактион Михеич.

Кстати, Штофф был избран председателем

правления, хотя это и не входило в планы Стабровского — он предпочел бы Галактиона, но тот пока еще не «поспел». Стабровский вообще считал необходимым выдерживать прыткого немца и не давать ему излишнего хода. Он почему-то ему не доверял.

В жизни нового банка на первых же порах возникало крупное недоразумение с Ечкиным, который остался в Петербурге, устраивая акции нового банка на бирже. Это было очень сложное и ответственное дело, которое мог устроить только один Ечкин. Но он чуть не бросил всего в самом начале, когда узнал, что не попал в члены банковского правления, чего, видимо, ожидал. Он даже прислал на имя нового правления формальный отказ, что обеспокоило всех. Но Стабровский только улыбнулся. Ечкин иногда позволял себе бунтовать, но все это была одна комедия, — он был совершенно «в руках» у Стабровского. У них были какие-то многолетние сибирские счеты, которые в таких случаях являлись для Ечкина холодною водой, отрезвлявшею его самое законное негодование, как было и в данном случае. Стабровский ни за что не хо-

тел участия Ечкина в администрации банка.

— Он и без этого получил больше всех нас, — спокойно объяснял Стабровский в правлении банка. — Вы только представьте себе, какая благодарная роль у него сейчас... О, он не будет напрасно терять дорогого времени! Вот посмотрите, что он устроит.

Политика Стабровского по отношению к Галактиону скоро разъяснилась. Он пригласил его к себе вечером и предупредил с обычною своею улыбкой:

— Мы сегодня серьезно займемся, Галактион Михеич, одним делом... да.

Можно было предположить, что Стабровский собирается путешествовать, потому что он подвел гостя к отдельному столику, на котором была разложена большая карта.

— Вы не учились географии? — спросил он.

— Нет.

— Ну, ничего, выучимся... Это карта Урала и прилегающих к нему губерний, с которыми нам и придется иметь дело. У нас своя география. Какие все чудные места!.. Истинно страна, текущая млеком и медом. Здесь могло бы

благоденствовать население в пять раз большее... Так, вероятно, и будет когда-нибудь, когда нас не будет на свете.

После этих чувствительных рассуждений Стабровский перешел к делу. Он обозначил булавками все пункты, где были винокуренные заводы, их производительность и район действия.

— Нам приходится серьезно считаться с этими господами, Галактион Михеич. Они очень уж просто привыкли забирать барыши совсем даром. Например, Прохоров и К *о*. Вы слыхали о нем?

— О да!.. Только вам нечего бояться конкуренции с ним, Болеслав Брониславич. Конечно, у них дело старинное, установившееся, а у вас есть свои преимущества в рынке и в перевозке.

— Да? Тем лучше, что мне не нужно вам объяснять. Мы отлично понимаем друг друга.

Сообразительность Галактиона очень понравилась Стабровскому. Он так ценил людей, умеющих понимать с полуслова, как было в данном случае. Все эти разговоры имели только подготовительное значение, а к глав-

ному Стабровский приступил потом.

— Дело вот в чем, Галактион Михеич... Гм... Видите ли, нам приходится бороться главным образом с Прохоровым... да. И мне хотелось бы, чтобы вы отправились к нему и повели необходимые переговоры. Понимаете, мне самому это сделать неудобно, а вы посторонний человек. Необходимые инструкции я вам дам, и остается только выдержать характер. Все дело в характере.

Это предложение немного смутило Галактиона, и он откровенно проговорил:

— Отчего вы не поручите этого Штоффу? Он опытнее меня.

— Хотите, чтобы я сказал вам все откровенно? Штофф именно для такого дела не годится... Он слишком юрок и не умеет внушать к себе доверия, а затем тут все дело в такте. Наконец, мешает просто его немецкая фамилия... Вы понимаете меня? Для вас это будет хорошим опытом.

Не теряя времени, Стабровский сейчас же разъяснил сущность дела, причем Галактион пришел в ужас. Этот богатый пан знал, кажется, решительно все и вперед сосчитал каждое

зерно у мужика и каждую копейку выгоды, какую можно было получить. Говоря о конкуренции с сильной фирмой Прохоров и К *о*, он вперед определил сумму возможных убытков и все комбинации, при которых могли получиться такие убытки. Это уж совсем не походило на тот авось, с каким русские купцы вели свои дела. Тут все было на счету, и Стабровский мог рассказать чужие дела, как свои.

«Что же это такое? — спрашивал Галактион самого себя, когда возвращался от Стабровского домой. — Как же другие-то будут жить?»

Он понимал, что Стабровский готовился к настоящей и неумолимой войне с другими винокурами и что в конце концов он должен был выиграть благодаря знанию, предусмотрительности и смелости, не останавливающейся ни перед чем. Ничего подобного раньше не бывало, и купеческие дела велись ощупью, по старинке. Галактион понимал также и то, что винное дело — только ничтожная часть других финансовых операций и что новый банк является здесь страшною силой, как хорошая паровая машина.

Он шел домой пешком, чтоб освежиться. Падал первый снежок. В окнах мелькали желтые огоньки. Где-то звонили ко всенощной. Дневная сутолока кончалась, и только освещены были лавки и магазины. Галактиону вдруг сделалось жаль этого маленького городка, жившего до сих пор тихо и мирно. Что с ним будет через несколько лет? Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на своем пути все, как прорвавшая плотину вода. И он явился покорным слугой этой силы с первого раза. Для него оставалось много непонятного, начиная с собственного положения. Как это все легко делается: недавно еще у него ничего не было, а сейчас уже он зарабатывал столько, что не мог даже мечтать раньше о подобном благополучии. И притом он являлся нужным человеком, у него было уже свое определенное место. Впереди рисовались радужные картины, и нехорошо было только то, что все это будущее неразрывно было связано со Стабровским и его компанией. Галактиону казалось, что он чему-то изменяет, изменяет такому хорошему и заветному.

С другой стороны, с каждым днем его все сильнее и сильнее охватывала жажда широкой деятельности и больших дел. Он уже понимал, что личное обогащение еще не дает ничего, а запольские коммерсанты дальше этого никуда не шли, потому что дальше своего носа ничего не видели и не желали видеть. Галактиону стоило только подумать о Стабровском или Ечкине, которые ворочали миллионными делами, как он сейчас же видел самого себя таким маленьким и ничтожным. Да, это были настоящие, большие люди, и только они умели жить по-настоящему, по-большому.

Под этим настроением Галактион вернулся домой. В последнее время ему так тяжело было оставаться подолгу дома, хотя, с другой стороны, и деваться было некуда. Сейчас у Галактиона мелькнула было мысль о том, чтобы зайти к Харитине, но он удержался. Что ему там делать? Да и нехорошо... Муж в остроге, а он будет за женой ухаживать.

Подходя к дому, Галактион удивился, что все комнаты освещены. Гости у них почти не бывали. Кто бы такой мог быть? Оказалось,

что приехал суслонский писарь Замараев.

— Ты уж меня извини, что по-деревенски ввалился без спросу, — оправдывался Замараев. — Я было заехал к тестю, да он меня так повернул... Ну, бог с ним. Я и поехал к тебе.

— Что ж, я очень рад... А что касается Харитона Артемьича, так не каждое лыко в строку. Как на него взглянет.

— Обидно оно, Галактион Михеич. Ведь не чужой человек приехал. Анфуса-то Гавриловна была рада, а он чуть в шею не вытолкал. Конечно, я — деревенский человек, а все-таки...

— Пустяки... Потом помиритесь.

Галактион искренне был рад гостю, потому что не так тошно дома. За чаем он наблюдал жену, которая все время молчала, как зарезанная. Тут было все: и ненависть к нему и презрение к деревенской родне.

— А вы тут засудили Илью Фирсыча? — болтал писарь, счастливый, что может поговорить. — Слышали мы еще в Суслоне... да. Жаль, хороший был человек. Тоже вот и про банк ваш наслышались. Что же, в добрый час... По другим городам везде банки заведе-

ны. Нельзя отставать от других-то, не те времена.

— Да... — неопределенно отвечал Галактион, не зная, что ему отвечать.

— И Бубнова похоронили, — не унимался Замараев. — Знавал я его в прежние времена... Жаль. А слушали новость: Прасковья Ивановна замуж выходит.

— Как выходит? — спросили в голос муж и жена.

— Выходит, как другие прочие вдовы выходят.

— За кого?

— А за доктора... Значит, сама нашла свою судьбу. И то сказать, баба пробойная, — некогда ей горевать. А я тут встретил ее брата, Голяшкина. Мы с ним дружки прежде бывали. Ну, он мне все и обсказал. Свадьба после святок... Что же, доктор маху не дал. У Прасковьи Ивановны свой капитал.

Потом, оказалось, что Замараев успел побывать и в остроге, у Ильи Фирсыча, — одним словом, обежал целый город.

Глава 33

Замараев поселился у Галактиона, и последний был рад живому человеку. По вечерам они часто и подолгу беседовали между собой, и Галактион мог только удивляться той особенной деревенской жадности, какою был преисполнен суслонский писарь, — это не была даже жажда наживы в собственном смысле, а именно слепая и какая-то неистовая жадность.

— Нет, брат, шабаш, старинка-то приказала долго жить, — повторял Замараев, делая вызывающий жест. — По нонешним временам вон какие народы проявились. Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут... да. На што бабы, и те вполне это самое чувствуют. Вон Серафима Харитоновна как на меня поглядывает, даром что хлеб-соль еще недавно водили.

— Не от ума она, Флегонт Васильич.

— А вот и нет! И я даже весьма понимаю, потому что мы, деревенские, прямые дураки выходим. Серафима-то Харитоновна и выходит права, потому как темнота-с... А только по женской своей части она, конечно, не понимает, что и темнота тоже проснулась и на-

чала копошиться. Все ищутся, Галактион Михеич... Вы вот тут банки открываете и разные прочие огромадные дела затеваете, а от вас и к нам щепки летят... да-с. Теперь взять Ключевую, — она вся зашевелилась. Мельники-то, которые жили всю жизнь по старинке, и те очухались. Недалеко ходить, взять хоть вашего тятеньку, Михея Зотыча, — зараз две новых мельницы строит. Ведь старичок, а как хлопочет. Ну, и другие народы поднялись на дыбы... Кто во что горазд. И у всех уж на уме: не хватит своего капитала, в банке прихвачу и оборочусь. Вот какое дело... Уж все пронюхали, где жареным пахнет.

На поверку оказалось, что Замараев действительно знал почти все, что делалось в Заполье, и мучился, что «новые народы» оберут всех и вся, — мучился не из сожаления к тем, которых оберут, а только потому, что сам не мог принять деятельного участия в этом обирании. Он знал даже подробности готовившегося похода Стабровского против других винокуров и по-своему одобрял.

— Так и надо... Валяй их! Не те времена, чтобы, например, лежа на боку... Шабаш! У

волка в зубе — Егорий дал. Учить нас надо, а за битого двух небитых дают.

— Ну, а как твоя ссудная касса?

— Большим кораблям большое плавание, а мы около бережку будем ползать... Перед отъездом мы с попом Макаром молебствие отслужили угодникам бессребренникам. Как же, все по порядку. Тоже и мы понимаем, как и што следует: воздадите кесарево кесарю... да. Главная причина, Галактион Михеич, что жаль мелкие народы. Сейчас-то они вон сто процентов платят, а у меня будут платить всего тридцать шесть... Да там еще кланялись сколько, да еще отрабатывали благодарность, а тут на, получай, и только всего.

Эта теория благодеяния бедным рассмешила Галактиона своею наивностью, хотя в основе и была известная доля правды.

— Так благодетелем хочешь быть? — смеялся он, хлопая Замараева по плечу. — С зубов кожу будете драть, из блохи голенища кроить?

— А вы? У вас, Галактион Михеич, учимся... Даже вот как учимся. Вам-то вот смешно, а нам слезы.

— Перестань ты дурака валять, Флегонт Васильич. Сами вы кого угодно проведете и надуете.

Замараев, живя в Заполье, обнаружил необыкновенную пронырливость, и, кажется, не было угла, где бы он не побывал, и такой щели, которую бы он не обнюхал с опытностью настоящего сыщика. Эта энергия удивляла Галактиона, и он раз, незадолго до отъезда в резиденцию Прохорова и К *о*, спросил:

— А ты не был у Харитины, Флегонт Васильич?

— Нет, не довелось.

— Почему?

— Все собираюсь, да как-то не могу дойти. А надо бы повидать. Прежде-то не посмел бы, когда Илья Фирсыч царствовали, а теперь-то даже очень просто.

— Вот что, Флегонт Васильич... — замялся немного Галактион. — А если я тебя попрошу зайти к ней? Понимаешь, ты как будто от себя...

— Могу.

— Пожалуйста, не проболтайся.

— Сделай милость. Тоже не левою йогой

сморкаемся.

— Видишь ли, в чем дело... да... Она после мужа осталась без гроша. Имущество все описано. Чем она жить будет? Самому мне говорить об этом как-то неудобно. Гордая она, а тут еще... Одним словом, женская глупость. Моя Серафима вздумала ревновать. Понимаешь?

— В лучшем виде. Известно, бабы.

— Так вот я с удовольствием помог бы ей... на первое время, конечно. К отцу она тоже не пойдет.

— Вот это даже совсем напрасно. Одно малодушие.

— Я знаю ее характер: не пойдет... А поголодает, посидит у хлеба без воды и выкинет какую-нибудь глупость. Есть тут один адвокат, Мышников, так он давно за ней ухаживает. Одним словом, долго ли до греха? Так вот я и хотел предложить с своей стороны... Но от меня-то она не примет. Ни-ни! А ты можешь так сказать, что много был обязан Илье Фирсычу по службе и что мажешь по-родственному ссудить. Только требуй с нее вексель, а то догадается.

— Весьма понимаю. Горденька Харитина Харитоновна.

— Да, да. Так сделай это для меня. Как-нибудь сочтемся. Рука руку моет, Флегонт Васильич.

— Уж будь спокоен. Так подведем, что и сама не услышит. Тоже и мы не в угол рожей, хоша и деревенские.

— Пожалуйста. Меня она очень беспокоит.

Суслонский писарь отправился к Харитине «на той же ноге» и застал ее дома, почти в совершенно пустой квартире. Она лежала у себя в спальне, на своей роскошной постели, и курила папиросу. Замараева больше всего смутила именно эта папироса, так что он не знал, с чего начать.

— Завернул к вам, Харитина Харитоновна... Жена Анна наказывала. Непременно, грит, проведай любезную сестрицу Харитину и непременно, грит, зови ее к нам в Суслон погостить.

— Это в деревню-то? — удивилась Харитина. — Да вы там с женой оба с ума спятили!

— А вы не сердитесь на нашу деревенскую простоту, Харитина Харитоновна, потому как

у нас все по душам... А я-то так кругом обязан Ильей Фирсычем, по гроб жизни. Да и так люди не чужие... Ежели, например, вам насчет денежных средств, так с нашим удовольствием. Конешно, расписочку там на всякий случай выдадите, — это так, для порядку, а только несумлевайтесь. Весь перед вами, в там роде, как свеча горю.

Против ожидания, Харитина отнеслась к этому предложению с деловым спокойствием и не без гордости ответила:

— Сейчас мне не хочется занимать денег у отца, но я отдам в самом скором времени... У меня будут деньги.

— Само собою разумеется, как же без денег жить? Ведь я хоша и говорю вам о документе, а даю деньги все одно, как кладу к себе в карман. По-родственному, Харитина Харитоновна. Чужим-то все равно, а свое болит... да. Заходил я к Илье Фирсычу. В большое малодушие впадает.

— Не говорите мне про него!

— Я так, к слову.

— Вот вы о родственниках заговорили... Хороши бывают родственнички! Ну, да не

стоит об этом говорить!

Харитина разошлась до того, что предложила чаю. Она продолжала лежать на постели совсем одетая и курила одну папиросу за другой.

— Извините меня, Харитина Харитоновна, — насмелился Замараев. — Конечно, я деревенский мужик и настоящего городского обращения не могу вполне понимать, а все-таки дамскому полу как будто и не того, не подобает цыгарки курить. Уж вы меня извините, а это самое плохое занятие для настоящей дамы.

— Пустяки, это от скуки, — коротко объяснила Харитина улыбаясь. — Что мне больше-то делать? А тут мысли разгоняет.

— Это, конечно-с. А когда прикажете доставить вам деньги? Впрочем, я и сейчас могу-с, а вы только на бумажке-с черкните.

— А сколько вы можете мне дать сейчас? Тысячу?

— Многонько-с. Сотенный билет могу, а когда издержите — другой. Тысячу-то и потерять можно по женскому делу.

Харитина взяла деньги, небрежно сунула

их под подушку, и оттуда вынула два мужских портрета.

— Который больше нравится? — спрашивала она улыбаясь.

— Одного-то я знаю... господин Мышников-с?

— А другой — еврей Ечкин.

— Так-с, слышали.

— Вот я и гадаю: на которого счастье выпадет.

Замараев поднялся с видом оскорбленного достоинства и проговорил:

— Непригоже вам, Харитина Харитоновна, отецкой дочери, такие слова выговаривать, а мне непригоже их слушать. И для ради шутки даже не годится.

— Ну, так проваливай! — грубо ответила Харитина. — Тоже сахар нашелся!.. А впрочем, мне все равно. Ты где остановился-то?

— Я-то? Значит, сперва к тятеньке размахнулся, ну, а как они меня обзатылили, так я к Галактиону Михеичу... у них-с.

— А! Скажи Галактиону поклончик.

Вторая половина разговора шла уже на «ты», и Замараев только качал головой, уходя

от разжалованной исправницы.

Вернувшись домой, писарь ничего не сказал Галактиону о портретах, а только встряхивал годовой и бормотал что-то себе под нос.

— Нда-с, дама-с... можно сказать... и притом огненный карахтер.

— А что? — спрашивал Галактион.

— Да так, вообще... Однако деньги соблаговолили принять и расписку обещали прислать. Значит, своя женская гордость особо, а денежки особо. Нда-с, дама-с!

Галактион только молча пожал руку своему сообщнику и сейчас же уплатил выданные Харитине деньги.

— Не в коня корм, — заметил наставительно писарь. — Конечно, у денег глаз нет, а все-таки, когда есть, например, свои дети...

— Ну, об этом не беспокойся. Деньги будут, сколько угодно. Не в деньгах счастье.

Замараев только угнетенно вздохнул. Очень уж легко нынче в Заполье о деньгах разговаривают. Взять хотя того же Галактиона. Давно ли по красному билету занимал, а тут и сотенной не жаль. Совсем малодушный человек.

По вечерам писарь оставался обыкновенно дома, сохраняя деревенскую привычку, а Галактион уходил в свой банк или к Стабровскому. Писарю делалось иногда скучно, особенно когда дети укладывались спать. Он бесцельно шагал по кабинету, что-то высчитывая и прикладывая в уме, напевал что-нибудь из духовного и терпеливо ждал хозяина, без которого не мог ложиться спать. Это сиденье поневоле сблизило его с хозяйкой, относившейся к нему сначала с холодным пренебрежением. Притом писарь заметил, что вечером Серафима делалась как-то добрее и даже сама вступала в разговор. Расспрашивала его о Суслоне, как живет Емельян с тайною женой, что поделывает Михей Зотыч и т. д. Замараев каждый раз думал, что Серафима утишилась и признала его за равноправного родственника, но каждое утро его разочаровывало в этом, — утром к Серафиме не было приступа, и она не отвечала ему и даже не смотрела на него. Он объяснял это тем, что она не хотела уронить своего достоинства при муже. Но в конце концов он понял истинную причину.

Раз за вечерним чаем Серафима была особенно оживлена и проговорила:

— Скучно вам у нас, Флегонт Васильич?

— Зачем скучать? Нет, ничего.

— Ведь я вижу... И мне тоже скучно. Вот что, давайте играть в дурачки.

— Что же, с удовольствием, Серафима Харитоновна. Мы иногда с нашею попадьей Луковной до зла-горя играем... Даже ссоримся.

Они устроились тут же, за чайным столиком. Серафима подсела совсем близко, и Замараев, сдавая карты, должен был наклоняться. Когда он остался в дураках и Серафима расхохоталась, на него вдруг пахнуло вином. Игра повторилась в другой раз, и Замараев заметил то же самое. Серафима выходила по нескольку раз из-за стола и возвращалась из своей комнаты еще веселее. Больше не оставалось сомнения, что она тайком напивалась каждый вечер тою самою мадерой, которую нещадно пило все Заполье. Раз Серафима «перепаратила» настолько, что даже чуть не упала.

Что было делать Замараеву? Предупредить мужа, поговорить откровенно с самой, объяс-

нить все Анфусе Гавриловне, — ни то, ни другое, ни третье не входило в его планы. С какой он стати будет вмешиваться в чужие дела? Да и доказать это трудно, а он может остаться в дураках.

«Э, моя хата с краю! — решил писарь и махнул рукой. — Сказанное слово — серебряное, а несказанное — золотое».

В доме Галактиона пахло уже мертвым.

Глава 34

Перед самым отъездом Галактиона была получена новая корреспонденция, взволновавшая все Заполье. Неизвестный корреспондент разделывал новых дельцов, начинавших с организации банка. Досталось тут и Галактиону, как перебежчику от своей купеческой партии. Писал, видимо, человек свой, знавший в тонкости все запольские дела и всех запольских воротил. К разысканию таинственного писаки приняты были все меры, которые ни к чему решительно не привели. Обозленные банковцы дошли до невероятных предположений. Особенно волновался Штофф.

— Это писала протопопская дочь, — уверял

он в отчаянии. — Она кончила гимназию, — ну, и написала.

В розыске принял участие даже Замараев, который под величайшим секретом сообщил Галактиону:

— Некому больше, как вашему адвокату Мышникову. У тебя с ним контры, вот он и написал. Небойсь о себе-то ничего не пишет. Некому другому, кроме него.

Как это иногда случается, от излишнего усердия даже неглупые люди начинали говорить глупости.

На Галактиона корреспонденция произвела сильное впечатление, потому что в ней было много горькой правды. Его поразило больше всего то, что так просто раскрывались самые тайные дела и мысли, о которых, кажется, знали только четыре стены. Этак, пожалуй, и шевельнуться нельзя, — сейчас накроют. Газета в его глазах получила значение какой-то карающей судьбы, которая всякого найдет и всякому воздаст по его заслугам. Это была не та мистическая правда, которой жили старинные люди, а правда новая, называющая всенародно вещи их именами.

Из Заполья Галактион уехал под впечатлением этой корреспонденции. Ведь если разобрать, так в газете сущую правду пропечатали. Дорогой как-то лучше думается, да и впечатления другие. Заводы Прохорова и К *о* были уже в степи, и ехать до них приходилось целых полтора суток. Кругом расстилались поля. Теперь они были занесены снегом. Изредка попадались степные деревушки. Здесь уже была другая стройка, чем на Ключевой: избенки маленькие, крыши соломенные, надворные постройки налажены кое-как из плетня, глины и соломы. Но народ жил справно благодаря большим наделам, степному чернозему и близости орды, с которой шла мена на хлеб. Много было всякого крестьянского добра, а корреспондент уже пишет о разорении края и о будущем обеднении. Галактиону вдруг сделалось совестно, когда он припомнил слова отца. Вот и сейчас он едет в сущности по нечистому делу, чтобы Стабровский за здорово живешь получал отступное в сорок тысяч.

Да, нехорошо. А все оттого, что приходится служить богатым людям. То ли бы дело, если

бы завести хоть один пароходик, — всем польза и никто не в обиде.

— Ну, как вы тут живете? — спрашивал Галактион одного рыжебородого ямщика, бойкого и смышленого.

— А ничего, ваше степенство. Слава богу, живем, нога за ногу не задеваем.

Обернувшись, ямщик прибавил:

— У нас вот как, ваше степенство... Теперь страда, когда хлеб убирают, так справные мужики в поле не дожинают хлеб начисто, а оставляют «Николе на бородку». Ежели которые бедные, — ну, те и подберут остатки-то. Ничего, справно народ живет. Богатей есть, у которых по три года хлеб в скирдах стоит.

Отъехав станций пять, Галактион встретил, к своему удивлению, Ечкина, который мчался на четверке в Заполье. Он остановил лошадей.

— Вы это к Прохорову? — спрашивал Ечкин.

— Да... А вот вы были в Петербурге, а едете из степи.

— Э, батенька, волка ноги кормят! Из Петербурга я проехал через Оренбург в степь, де-

ла есть с проклятым Шахмой, а теперь качу в Заполье. Ну, как у вас там дела?

— Да ничего, помаленьку.

— Вот все вы так: помаленьку да помаленьку, а я этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча новых проектов. Дела будем делать. Едва уломал дурака Шахму. Стеариновый завод будем строить. Шахма, Малыгин и я. Потом вальцовую мельницу... да. Потом стеклянный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути я откупил два соляных озера.

Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем.

— Ах, сколько дела! — повторял он, не выпуская руки Галактиона из своих рук. — Вы меня, господа, оттерли от банка, ну, да я и не сержусь, — где наше не пропало? У меня по горло других дел. Скажите, Луковников дома?

— Да... Он, кажется, никуда не ездит.

— Отлично. Мне его до зарезу нужно. Полуянова засудили? Бубнов умер? Слышал... Все к лучшему в этом лучшем из миров, Галактион Михеич. А я, как видите, не унываю. Сто

неудач — одна удача, и в этом заключается вся высшая математика. Вот только времени не хватит. А вы синдикат устраивать едете?

— Какой синдикат?

— Ну, по-вашему, сделочка. Знаю... До свидания. Лечу.

Неугомонный человек исчез как метеор. Ечкин поражал Галактиона своею необыкновенной энергией, смелостью и уменьем выпутаться из какого угодно положения. Сначала он относился к нему с некоторым предубеждением, как к жиду, но теперь это детское чувство совершенно заслонялось другими соображениями. Вот как нужно жить на белом свете, вот как работать.

Прохоровские винокуренные заводы в степи представляли собой что-то вроде небольшого городка. Издали еще виднелись высокие дымившиеся трубы, каменные корпуса, склады зерна, амбары и десятки других заводских построек. Отдельно стояла контора, дом самого Прохорова, квартиры для служащих и простые избушки для рабочих. Место было глухое, и Прохоров выбрал его по какому-то дикому капризу. Поговаривали, что главный

расчет заключался в отдаленности акциозного надсмотра, хотя это и относилось уже к доброму старому времени.

Сам Прохоров был дома. Впрочем, он всегда был дома, потому что никуда и никогда не ездил уже лет двадцать. Его мучило вечное недоверие ко всему и ко всем: обкрадут, подожгут, зарежут, — вообще изведут. Простой народ называл его «пятачком», — у Прохорова была привычка во что бы то ни стало обсчитать на пятачок. Ведь никто не пойдет судиться из-за пятачка и терять время, а таких пятачков набегало при расчетах тысячи. Даже жалованье служащим он платил на пятачок меньше при каждой выдаче. Это был налог, который несли все, так или иначе попадавшие в Прохоровку.

Галактиона винокуренный степной король принял с особенным недоверием.

— Так-с, так-с, — повторял он. — О Стабровском слышали... да. А только это нас не касается.

По наружности Прохоров напоминал ветхозаветного купца. Он ходил в длиннополом сюртуке, смазных сапогах и ситцевой рубахе.

На вид ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ни один седой волос не говорил об этом. Крепкий вообще человек. Когда Галактион принялся излагать подробно свою миссию, Прохоров остановил его на полдороге.

— Это нас не касается, милый человек. Господин Стабровский сами по себе, а мы сами по себе... да-с. И я даже удивляюсь, что вам от меня нужно.

— Вы сейчас не хотите понять, а потом будете жалеть.

— Что делать, что делать. Только вы напрасно себя беспокоите.

— Я так и передам.

— Пожалуйста.

На прощанье упрямый старик еще раз осмотрел гостя и проговорил:

— Да вы-то кто будете Стабровскому?

— Никто. Просто, он мне поручил предупредить вас и войти в соглашение.

— Так-с, так-с. Весьма даже напрасно. Ваша фамилия Колобов? Сынок, должно быть, Михею Зотычу? Знавал старичка... Лет с тридцать не видались. Кланяйтесь родителю. Очень жаль, что ничего не смогу сделать вам

приятного.

Эта неудача для Галактиона имела специальное значение. Прохоров показал ему его полную ничтожность в этом деловом мире. Что он такое в самом деле? Прохоров только из вежливости не наговорил ему дерзостей. Уезжая из этого разбойничьего гнезда, Галактион еще раз вспомнил слова отца.

Стабровский отнесся к неудаче с полным равнодушием.

— Что же, мы со своей стороны сделали все, — объяснил он. — Прохорову обойдется его упрямство тысяч в пятьдесят — и только. Вот всегда так... Хочешь человеку добро сделать, по совести, а он на стену. Будем воевать.

План войны у Стабровского уже был готов, как и вся кабацкая география. Оставалось только пустить всю машину в ход.

— Говоря откровенно, мне жаль этого старого дурака, — еще раз заметил Стабровский, крутя усы. — И ничего не поделаешь. Будем бить его же пятачком, а это самая беспощадная из всех войн.

За завтраком у Стабровского Галактион неожиданно встретил Харитину, которая при-

ехала вместе с Ечкиным. Она была в черном платье, которое еще сильнее вытеняло молочную белизну ее шеи и рук. Галактиону было почему-то неприятно, что она приехала именно с Ечкиным, который сегодня сиял, как вербный херувим.

— Давненько мы не видались, — заговорила она первая, удерживая руку Галактиона в своей. — Ну, как поживаешь? Впрочем, что я тебя спрашиваю? Мне-то какое до тебя дело?

— Зачем ты приехала с Ечкиным? — тихо спросил Галактион, не слушая ее болтовни.

— Да так... Он такой смешной. Все ездит ко мне, болтает разный вздор, а сегодня потащил сюда. Скучно... Поневоле рад каждому живому человеку.

— А муж?

— Он все богу молится. Да и пора грехи замаливать. А что твоя Серафима?

— В самый раз бы отправить ее вместе с Полуяновым.

— Смотри, Галактион, теперь вот ты ломаешься да мудришь над Серафимой, и бог-то и найдет. Это уж всегда так бывает.

— Э, все равно, — один конец! Тошно мне!

Галактион больше не разговаривал с ней и старался даже не смотреть в ее сторону. Но он не мог не видеть Ечкина, который ухаживал за Харитиной с откровенным нахальством. У Галактиона перед глазами начали ходить красные круги, и он после завтрака решительным тоном заявил Харитине:

— Я тебя провожу домой.

— Меня Борис Яковлич провожает.

Галактион посмотрел на нее такими безумными глазами, что она сейчас же с детскою торопливостью начала прощаться с хозяевами. Когда они выходили из столовой, Стабровский поднял брови и сказал, обращаясь к жене:

— Они добром не кончат, эти молодцы.

— Ах, какая она красавица! — говорила с завистью пани Стабровская, любовавшаяся всяким здоровым человеком. — Право, таким здоровым и сильным людям и умереть не страшно, потому что они живут и знают, что значит жить.

— Да, это нужно иметь в виду почтенному Борису Яковлевичу, — шутил Стабровский. — Иногда кипучая жизнь проявляется в не со-

всем удобным формах.

— Я? Что же я, мне все равно, — смешно оправдывался Ечкин, улыбаясь виноватою улыбкой. — Я действительно немножко ухаживал за Харитиной Харитоновной, но я ведь не виноват, что она такая хорошенькая.

— Прежде всего, мой милый, тебя в этих делах всегда выручало спасительное чувство страха.

Галактион молча усадил Харитину на извозчика и, кажется, готов был промолчать всю дорогу. Чувство страха, охватившее ее у Стабровских, сменилось теперь мучительным желанием освободиться от его присутствия и остаться одной, совершенно одной. Потом ей захотелось сказать ему что-нибудь неприятное.

— На свадьбе у Прасковьи Ивановны ты, конечно, будешь? — спросила она Галактиона с деланым спокойствием, когда уже подъезжали к дому.

— Ечкин будет посаженым отцом, а я шафером.

— Оставь, пожалуйста, Ечкина в покое. Какое тебе дело до него?

— А вот какое.

Галактион схватил ее за руку и пребольно сжал, так что у нее слезы выступили на глазах.

— Ты, кажется, думаешь, что я твоя жена, которую ты можешь бить, как бьешь Серафиму? — проговорила она дрогнувшим голосом.

Он только засмеялся, высадил ее у подъезда и, не простившись, пошел домой.

Глава 35

Харитина вбежала к себе в квартиру по лестнице, как сумасшедшая, и сейчас же затворила двери на ключ, точно Галактион гнался за ней по пятам и мог ворваться каждую минуту.

— Вот нахал! — повторяла она, улыбаясь и размахивая рукой, у которой от пожатия Галактиона слиплись пальцы. — Это какой-то сумасшедший.

Она опять лежала у себя в спальне на кровати и смеялась неизвестно чему. Какой-то внутренний голос говорил ей, что Галактион придет к ней непременно, придет против собственной воли, злой, сумасшедший, жалкий и хороший, как всегда. Как он давеча посмот-

рел на нее у Стабровских — точно огнем опалил. Харитина захохотала и спрятала голову в подушку. Интересно было бы свести его с Ечкиным. Потом Харитине вдруг пришла в голову мысль, которая заставила ее сесть на кровати. Да ведь это он, Галактион, подослал к ней этого дурака писаря с деньгами, и она их взяла. Ах, какая дура! И как было не догадаться? Харитина озлилась на это непрошенное участие Галактиона и сразу успокоилась. Теперь она была рада, что он придет. Да, пусть придет.

Галактион действительно пришел вечером, когда было уже темно. В первую минуту ей показалось, что он пьян. И глаза красные, и на ногах держится нетвердо.

— Ты зачем это ко мне пьяный приходишь? — проговорила она.

— Я? Пьяный? — повторил машинально Галактион, очевидно не понимая значения этих слов. — Ах, да!.. Действительно, пьян... тобой пьян. Ну, смотри на меня и любуйся, несчастная. Только я не пьян, а схожу с ума. Смейся надо мной, радуйся. Ведь ты знала, что я приду, и вперед радовалась? Да, вот я и

пришел.

Галактион присел к столу, закрыл лицо руками, и Харитина видела только, как вздрагивали у него плечи от подавленных рыданий. Именно этого Харитина не ожидала и растерялась.

— Галактион, бог с тобой, — бормотала она упавшим голосом. — Какой ты, право. Мне хуже во сто раз, да ведь я ничего.

— Ничего ты не понимаешь — вот и ничего. Ну, зачем я сюда пришел?

Он поднялся и, не вытирая катившихся по лицу слез, посмотрел на нее давешними безумными глазами.

— Ты думаешь, что я тебя люблю? Нет, я пришел сказать тебе, что ненавижу тебя... всю ненавижу... и себя ненавижу... Ненавижу и жалею... Как-то кругом все пусто... темно... и страшно, страшно. И Симу жаль и детишек. Малюсенькие, а уж начинают понимать по-своему, что в доме неладно. Встретишь знакомого и боишься, что вот он скажет тебе то самое, о чем боишься думать. Как-то я был у старика Луковникова, так ему на меня было стыдно смотреть. Разве я на понимаю? А я

бессовестным прикинулся и все притворялся, что ничего не замечаю.

— Тебе уж это кажется все.

— Ничего не кажется, а только ты не понимаешь. Ведь ты вся пустая, Харитина... да. Тебе все равно: вот я сейчас сижу, завтра будет сидеть здесь Ечкин, послезавтра Мышников. У тебя и стыда никакого нет. Разве девушка со стыдом пошла бы замуж за пьяницу и грабителя Полуянова? А ты его целовала, ты... ты...

У Галактиона перехватило горло от запоздавшей ревности к Полуянову, и он в изнеможении схватился за грудь.

— Говори... ну, говори все, — настаивала Харитина. — Я жена Полуянова, а ты... ты...

— Молчи, ради бога молчи!

— Нет, ты молчи, а я буду говорить. Ты за кого это меня принимаешь, а? С кем деньги-то подослал? Писарь-то своей писарихе все расскажет, а писариха маменьке, и пошла слава, что я у тебя на содержании. Невелика радость! Ну, теперь ты говори.

— Оно действительно глупо вышло, а только я, Харитина...

— Только меня срамишь. Теперь про меня

все можно говорить, кому что нравится.

— О тебе же заботился. В самом деле, Харитина, будем дело говорить. К отцу ты не пойдешь, муж ничего не оставил, надо же чем-нибудь жить? А тут еще подвернутся добрые люди вроде Ечкина. Ведь оно всегда так начинается: сегодня смешно, завтра еще смешнее, а послезавтра и поправить нельзя.

— По себе судишь?

Это был намек на Прасковью Ивановну, и Галактион немного смутился.

— Оставь глупости. Я серьезно говорю. Пока что я действительно хотел тебе помочь.

— А потом?

— Потом видно будет, что и как.

— Дешево содержанку хочешь купить, Галактион Михеич.

— Перестань молоть!

Этот деловой разговор утомил Харитину, и она нахмурилась. В самом деле, что это к ней все привязываются, точно сговорились в один голос: чем будешь жить да как будешь жить? Живут же другие вдовы, и никто их не пытает.

— Ну ладно, не будем теперь об этом гово-

рить, — решил Галактион, махнув рукой. — Разве с тобой кто-нибудь сговаривал?

Он опять сел к столу и задумался. Харитина ходила по комнате, заложив руки за спину. Его присутствие начинало ее тяготить, и вместе с тем ей было бы неприятно, если бы он взял да ушел. Эта двойственность мыслей и чувств все чаще и чаще мучила ее в последнее время.

— Ведь вот старики-то прожили век, — думал Галактион вслух, отдаваясь внутреннему течению своих мыслей. — Да, целый век прожили. И худо было и хорошо, а все-таки прожили. Дом не пустовал, беспризорные жены не оставались. Эх, неладно!.. Вот я ехал, Харитина, в степи, а ямщик рассказывает, как у них Николе на бородку оставляют, когда страда. И этого не будет... Все отберут, и никуда не уйдешь. Вот посмотри на меня: по видимости как будто и человек, а в середине уж труха. Я-то первый своему брату купцу животы буду подводить. И самому мне деваться некуда. И другие прочие народы тоже соображают, где плохо лежит. Вон Замараев-то кассу ссуд хочет открывать в Заполье.

— Он уж меня в кассирши приглашал.

— Тебя?.. Ха-ха... Это будет у вас театр, а не ссудная касса. Первым делом — ему жена Анна глаза выцарапает из-за тебя, а второе — ты пишешь, как курица лапой.

— Выучусь.

— Другому чему не научись.

— Тебя не спрошу. Послушай, Галактион, мне надоело с тобой ссориться. Понимаешь, и без тебя тошно. А тут ты еще пристаешь... И о чем говорить: нечем будет жить — в прорубь головой. Таких ненужных бабенок и хлебом не стоит кормить.

Харитина не понимала, что Галактион приходил к ней умирать, в нем мучительно умирал тот простой русский купец, который еще мог жалеть и себя и других и говорить о совести. Положим, что он не умел ей высказать вполне ясно своего настроения, а она была еще глупа молодою бабьей глупостью. Она даже рассердилась, когда Галактион вдруг поднялся и начал прощаться:

— Ты это куда?

— Куда-нибудь надо идти. Не все ли равно, куда ни идти? Ну, прощай, Харитина.

Она молча подала ему руку и не шевельнулась с места, чтобы проводить его до передней. В ее душе жило смутное ожидание чего-то, и вот этого именно и не случилось.

Вечером, измучившись от тоски, Харитина отправилась к матери, где, к своему удивлению, застала Замараева, который уже называл ее сестрицей.

— Вот тятеньки нет дома, значит, я — гость, — объяснил он откровенно.

— Горденек Харитон Артемьич, а напрасно-с.

Анфуса Гавриловна была рада суслонскому зятю. Положим, не из важных зять, а все-таки живет хорошо и родню уважает. Ей делалось совестно за мужа, который срамил писаря в глаза и за глаза. Каков уж есть, — из своей кожи не вылезешь. В малыгинском доме вообще переживалось тяжелое время: Лиодор сидел в остроге, ожидая суда, Полуянова на днях отправляли в Сибирь. Галактион жил неладно, — все как-то шло врозь. А тут еще Харитина со своею красотой осталась ни на дворе, ни на улице. Последнюю дочь Агнию, и ту запорочила Бубниха своим сватовством. Теперь

девушке никуда глаз нельзя показать в люди. Она даже похудела с горя и ходила, как в воду опущенная, и пряталась в своей комнатке от чужих.

— Уж эта Бубниха! — удивлялась Анфуса Гавриловна. — И что ей было изводить девушку? Подвела жениха, а потом сама за него поклалась.

— Это она с горя, маменька, — объясняла Харитина. — Ей до зла-горя нравился Мышников, а Мышников все за мной ухаживал, — ну, она с горя и махнула за доктора. На, мил сердечный друг, полюбуйся!

— И не пойму я вас, нонешних, — жаловалась старушка. — Никакой страсти в нонешних бабах нет. Не к добру это, когда курицы по-петушиному запоют.

В другой раз Анфуса Гавриловна отвела бы душеньку и побранила бы и дочерей и зятьев, да опять и нельзя: Полуянова ругать — битого бить, Галактиона — дочери досадить, Харитину — с непокрытой головы волосы драть, сына Лиодора — себя изводить. Болело материнское сердце день и ночь, а взять не с кого. Вот и сейчас, налетела Харитина незнамо зачем и

сидит, как зачумленная. Только и радости, что суслонский писарь, который все-таки разные слова разговаривает и всем старается угодить.

— Богоданная маменька, как будто вы из лица сегодня не совсем?

— Ох, тоже и скажет! На што мне и лицо это самое? Провалилась бы я, кажется, скрозь землю, а ты: из лица не совсем!

— Не убивайтесь, богоданная маменька, может, все дела помаленьку наладятся. Господь терпел и нам наказал терпеть. Испытания господь посылает любя и любя наказует за нашу гордость. Кто погордится, а ему сейчас усмирение.

— Это ты на Харитона Артемьича?

— Зачем же-с? Так, вообще-с.

Сегодня Замараев имел какой-то особенно таинственный и загадочно-грустный вид. Он воспользовался моментом, когда Анфуса Гавриловна зачем-то вывернулась из комнаты, поманил пальцем Харитину и змеиным сипом сказал:

— Сестрица, и что я вам скажу.

Затем он оглянулся, подошел совсем близ-

ко, так, что Харитина могла убедиться, что он за обедом наелся по-деревенски луку, и еще таинственнее спросил:

— Уж как мне быть — ума не приложу... Ах, какое дело, сестрица!

— Да ну тебя, говори толком! — вскипела Харитина.

— Дело следующее-с, то есть, собственно, два дела-с, сестрица. Первое, что сестрица Серафима подверглась прахтикованному запою.

— Сима?..

— Они-с... Я ведь у них проживаю и все вижу, а сказать никому не смею, даже богоданной маменьке. Не поверят-с. И даже меня же могут завинить в напраслине. Жена перед мужем всегда выправится, и я же останусь в дураках. Это я насчет Галактиона, сестрица. А вот ежели бы вы, например, вечером заглянули к ним, так собственноручно увидели бы всю грусть. Весьма жаль.

Это известие ужасно поразило Харитину. У нее точно что оборвалось в груди. Ведь это она, Харитина, кругом виновата, что сестра с горя спилась. Да, она... Ей живо представился весь ужас положения всей семьи Галактиона,

иллюстрировавшегося народною поговоркой: муж пьет — крыша горит, жена запила — весь дом. Дальше она уже плохо понимала, что ей говорил Замараев о каком-то стеариновом заводе, об Ечкине, который затягивает богоданного тятеньку в это дело, и т. д.

— А мать ничего не знает? — прервала она поток писарского красноречия.

— Никак нет-с, потому как сестрица Серафима наезжают к ним по утрам, когда еще они в своем виде. А по вечерам они даже не сказываются дома, ежели, например, навернутся гости.

— И давно это с ней? Впрочем, что это я спрашиваю глупости? Надо все матери рассказать.

— Уж это только вы, сестрица, сделайте, а я не смею.

Когда Анфуса Гавриловна вернулась, Харитина даже раскрыла рот, чтобы сообщить роковую новость, но удержалась и только покраснела. У нее не хватило мужества принять на себя первый напор материнского горя. Замараев понял, почему сестрица струсила, сделал благочестивое лицо и только угнетенно

вздыхал.

Харитина посидела еще из приличия и ушла в комнату к сестре Агнии, чего раньше никогда не делала.

— Что это попритчилось нашей исправнице? — удивлялась Анфуса Гавриловна. — Раньше-то Агнию и за сестру не считала.

— Молодо-зелено, маменька.

Глава 36

Открытый в Заполье банк действительно сразу оживил все, точно хлынула какая-то магическая сила. Запольское купечество заволновалось, придумывая новые «способа» и «средствия». Все отлично понимали, что жить по прежнему невозможно и что жить по-новому без банка, то есть без кредита, тоже невозможно. По прежнему среднее купечество могло вести свои обороты с наличным капиталом в двадцать — тридцать тысяч, а сейчас об этом нечего было и думать. Особенно ясно это сделалось всем, когда Стабровский объявил открытую войну Прохорову и К *о*. Чтобы открыть действие своего завода, он начал производить закупку хлеба в невиданных еще размерах. Штофф забирал весь хлеб

в Заполье, а Галактион в Суслоне. В общем, вся эта хлебная операция достигала на первый раз почтенной цифры в четыреста тысяч пудов. Только теперь запольские хлебники, скупавшие десятками тысяч, поняли ту печальную истину, что рынок от них ушел и что цену хлеба даже теперь уже ставят доверенные Стабровского. Они били своих конкурентов по всем боевым хлебным пунктам самым простым способом, набавляя всего четверть копейки на пуд. Что значило Стабровскому выкинуть лишнюю тысячу рублей на эту беспощадную войну, а другим тягаться уже становилось не под силу. Все понимали также, что все эти убытки Стабровский наверстает вдвойне — и на скупленном хлебе и на водке, а потом будет ставить цену, какую захочет. А главное — его выручал банк, дававший те средства, которых недоставало. И везде почувствовалась гнетущая власть навалившейся новой силы.

Результатом этого движения было то, что сразу открылся целый ряд новых предприятий. На первом плане выдвинулась постройка громадного стеаринового завода, устраи-

вавшегося новою компанией, составленною Ечкиным: в нее входили сам Ечкин, Шахма и старик Малыгин. Дело затевалось миллионное, и все только ахали. Пошатнулся и старик Луковников, задумавший громадную вальцовую мельницу в самом Заполье, — он хотел перехватить у других мелкотравчатых мельников пшеницу. Теперь дело сводилось именно на то, кто захватит вперед и предупредит других. Все остальные тоже по мере сил набросились на новые предприятия, главным образом — на хлеб. По Ключевой строилось до десятка новых мельниц-крупчаток.

Это небывалое оживление всей хлебной торговли отразилось на всех сторонах коммерческой деятельности. Ходко пошел красный товар, скобяной, железный, галантерея, а главным образом — кабак. Мужик продавал хлеб и деньги тратил на ситцы, самовары и водку. Все исходило от этого хлеба, в нем было основание и залог всего остального. Торговля в Заполье оживилась до неузнаваемости, и прежние лавки и лавчонки быстро превратились в магазины с зеркальными стеклами, где торговали без запроса. Возникла

страшная конкуренция в погоне за покупателем, и все старались перещеголять друг друга. Недостававшие деньги черпались полною рукой из банка. Удерживались от общего потока только такие заматерелые старики, как миллионер Нагибин, он ничего не хотел знать и только покачивал своею головой.

— Распыхались наши купцы не к добру, — пошептывал миллионер, точно колдун. — Ох, не быть добру!.. Очень уж круто повернулись все, точно с печи упали.

Происходили странные превращения, и, может быть, самым удивительным из них было то, что Харитон Артемьич, увлеченный новым делом, совершенно бросил пить. Сразу бросил, так что Анфуса Гавриловна даже испугалась, потому что видела в этом недобрый признак. Всю жизнь человек пил, а тут точно ножом обрезал.

— Нет, брат, теперь не те времена, — повторял он. — Дикость-то свою надо бросить, а то все мы тут мохом обросли.

Новый стеариновый завод строился на упраздненной салотопенной заимке Малыгина. По плану Ечкина выходило так, что Шах-

ма будет поставлять степное сало, Харитон Артемьевич заведовать всем делом, а он, Ечкин, продавать. Все, одним словом, было предусмотрено вперед, особенно громадные барыши, как законный результат этой компанейской деятельности.

Старик настолько увлекся своею новою постройкой, что больше ничего не желал знать. Дело дошло до того, что он отнесся как-то совсем равнодушно даже к оправданию родного сына Лиодора.

— Лучше бы уж его в Сибирь сослали, — думал он вслух. — Может, там наладился бы парень... Отец да мать не выучат, так добрые люди выучат. Вместе бы с Полуяновым и отправить.

Эта бесчувственность больше всего огорчила Анфусу Гавриловну, болевшую всеми детьми зараз. Рехнулся старик, ежели родного детища не жалеет. Высидевший в остроге целый год Лиодор заявился домой, прожил дня два тихо и мирно, а потом стащил у матери столовое серебро и бесследно исчез.

— Ох, напрасно его в Сибирь не сослали, — жалел Харитон Артемьич, предчувствуя

недоброе. — Еще зарежет с пьяных глаз.

В своем увлечении Малыгин дошел до того, что не мог равнодушно видеть чужих построек, которые ему казались лучше, чем у него. Он потихоньку ездил смотреть на строившуюся новую мельницу Луковникова и старался находить какие-нибудь недостатки — трубу для паровой машины выводили слишком высоко, пятиэтажный громадный корпус самой мельницы даст осадку на левый бок, выходивший к Ключевой, и т. д. Стеариновый завод строился по одну сторону города, а вальцовая мельница — по другую; это были аванпосты грядущих преобразований.

Анфуса Гавриловна теперь относилась к остепенившемуся мужу с уважением и, выбрав удачный момент, сообщила ему печальную новость о болезни Серафимы.

— Ну, это уж дело мужа, а не каше, — ответил старик.

— Да ведь дочь-то наша?

— Много их... На всех и жалости не хватит. Сама не маленькая. Что это Галактиона не видать?

— А он все ездит по делам Стабровского.

Хлеб скупают с Карлой в четыре руки. Дома-то хоть трава не расти. Ох, согрешила я, грешная, Харитон Артемьич!

— Кабы хороший, правильный муж у Серафимы, так бы он сразу вышиб из нее эту дурь.

— Не дурь, а болесть. Я уж с доктором советовалась, с Кацманом. Он хоша и из жидов, а правильный человек. Так и говорит: болесть в Серафиме.

— Ну вас совсем! Отстаньте! Не до вас! С пустяками только пристаешь. У меня в башке-то столбы ходят от заботы, а вы разные пустяки придумываете. Симке скажи, промежду прочим, что я ее растерзаю.

Спорить и прекословить мужу Анфуса Гавриловна теперь не смела и даже была рада этому, потому что все-таки в дому был настоящий хозяин, а не прежний пьяница. Хоть на старости лет пожить по-настоящему, как добрые люди живут. Теперь старушка часто ездила навещать Симу, благо мужа не было дома. Там к чему-то околачивалась Харитина. Так и юлит, так и шмыгает глазами, бесстыжая.

В сущности ни Харитина, ни мать не могли уследить за Серафимой, когда она пила, а

только к вечеру она напивалась. Где она брала вино и куда его прятала, никто не знал. В своем пороке она ни за что не хотела признаться и клялась всеми святыми, что про нее налгал проклятый писарь.

Галактион действительно целую зиму провел в поездках по трем уездам и являлся в Заполье только для заседаний в правлении своего банка. Он начинал увлекаться грандиозностью предстоявшей борьбы и работал, как вол. Домой он приезжал редким гостем и даже как-то не удивился, когда застал у себя Харитину, которая только что переехала к нему жить.

— Что же, и отлично, — одобрил он эту новую выходку. — Симе одной скучно, а вдвоем вам будет веселее.

— Это уж наше дело, что там будет, — загадочно ответила Харитина, имевшая такой серьезный вид. — А тебя не спросим.

Несмотря на некоторую резкость, Харитина заметно успокоилась и вся ушла в домашние дела. Она ухаживала за ребятишками, вела все хозяйство и зорко следила за сестрой. К Галактиону она отнеслась спокойно и просто,

как к близкому родственнику, и не испытывала предававшего ее волнения в его присутствии.

— А я тебя раньше, Галактион, очень боялась, — откровенно признавалась она. — И не то чтобы боялась по-настоящему, а так, разное в голову лезло. Давно бы следовало к тебе переехать — и всему конец.

Он только сумрачно посмотрел на нее, пожал плечами и ничего не ответил. Действительно, безопаснее места, как его собственный дом, она не могла выбрать.

Только раз Галактион поссорился с своею гостьей из-за того, что она не захотела даже проститься с мужем, когда его отправляли в ссылку, и что в виде насмешки послала ему на дорогу банку персидского порошка.

— Провожать ты его могла и не ходить, а смеяться над человеком в таком положении просто бессовестно, — выговаривал Галактион.

— Я и не думала смеяться... По этапам поведут, так порошок там первое дело. Меня же будет благодарить.

Серафима относилась к сестре как-то без-

различно и больше не ревновала ее к мужу. По целым дням она ходила вялая и апатичная и оживлялась только вечером, когда непременно усаживала Харитину играть в дурачки. Странно, что Харитина покорно исполняла все ее капризы.

Для Галактиона вся зима вышла боевая, и он теперь только понял, что значит «дохнуть некогда». Он под руководством Стабровского выучился работать по-настоящему, изо дня в день, из часа в час, и эта неустанная работа затягивала его все сильнее и сильнее. Он чувствовал себя и легко и хорошо, когда был занят.

— Бисмарк сказал, что умрет в своих оглоблях, как водовозная кляча, — объяснял ему Стабровский. — А нам и бог велел.

Чем ближе Галактион знакомился со Стабровским, тем большим и большим уважением проникался к нему, как к человеку необыкновенному, начиная с того, что совершенно было неизвестно, когда Стабровский спал и вообще отдыхал. Только Галактион знал, как работает этот миллионер и с какою осторожностью ведет свои дела. Война с Про-

хоровым и К *о* была задумана давно и теперь только осуществлялась шаг за шагом по ранее выработанному плану. Одна закупка хлеба чего стоила, и, не бывав ни в одном хлебном рынке, Стабровский знал дело лучше всякого мучника.

— Самое интересное будет впереди, — объяснял Стабровский. — Мы будем бить Прохорова шаг за шагом его же пятачком, пока не загоним совсем в угол, и тогда уже в качестве завоевателей пропишем ему условия, какие захотим. Раньше я согласен был получить с него отступного сорок тысяч, а сейчас меньше шестидесяти не возьму... да.

Галактион просто ужаснулся, когда Стабровский еще раз обстоятельнейшим образом познакомил его со всеми подробностями кабацкой географии и наступательного плана кабацкой стратегии. Вперед намечены были главные боевые пункты, места для вирных складов и целая сеть кабаков, имевших в виду парализовать деятельность Прохорова и К°.

— В сущности очень глупое дело, а интересно добиться своего, — объяснял Стабров-

ский. — В этом и заключается жизнь.

— Отчего бы вам, Болеслав Брониславич, не заняться другим делом? — решился заметить Галактион. — Ведь всякое дело у вас пошло бы колесом.

— Что делать, сейчас вернее водки у нас нет дела.

Впрочем, и сам Галактион начинал уже терять сознание разницы между промышленным добром и промышленным злом. Это делалось постепенно, шаг за шагом. У Галактиона начинала вырабатываться философия крупных капиталистов, именно, что мир создан специально для них, а также для их же пользы существуют и другие людишки.

Только раз Галактион видел Стабровского вышибленным из своей рабочей колеи. Он сидел у себя в кабинете за письменным столом и, закрыв лицо руками, глухо рыдал.

— Болеслав Брониславич, успокойтесь.

— Ах, ничего мне не нужно!.. Все вздор!.. Дидя, Дидя, Дидя!

Галактион понял, что с девочкой припадок, именно случилось то, чего так боялся отец. В доме происходила безмолвная суета.

Неслышными шагами пробежал Кацман, потом Кочетов, потом пронеслась вихрем горничная.

— Боже мой, за что ты меня наказываешь? — стонал Стабровский, ломая руки. — Ведь живут же дети бедняков, нищие, подкидыши, и здоровы, а у меня одна дочь... Ах, Дидя, Дидя!

Это громкое горе отозвалось в душе Галактиона горькою ноткой, напоминая смутно о какой-то затаенной несправедливости.

Часть IV

Глава 37

Как быстро идет время, нет — летит. Давно ли, кажется, доктор Кочетов женился на Прасковье Ивановне, а уж прошло больше трех лет.

Почти каждый раз, просыпаясь утром, доктор несколько времени удивлялся и старался сообразить, где он и что с ним. Он жил в бывшем кабинете Бубнова, где все оставалось по-старому. Тот же письменный стол, на котором стояла чернильница без чернил, тот же угловой шкафчик, где хранилась у Бубнова

заветная мадера, тот же ковер на полу, кресло, этажерка в углу, какая-то дамская шифоньерка. Женившись, доктор перестал пить и через год принял вид нормального человека. Это радовало всех знакомых, и все приписывали этот переворот благотворному влиянию Прасковьи Ивановны. Сам доктор ни слова не говорил никому о своей семейной жизни, даже Стабровскому, с которым был ближе других. Он молча мучился под давлением мысли, что женился с пьяных глаз, как замотавшийся купчик, и притом женился на богатой, что давало повод сделать предположение о его самом корыстном благоразумии. Доктору казалось, что все именно так и смотрят на него и все его презирают.

Семейная жизнь доктора сложилась как-то странно, и он удивлялся фантазии Прасковьи Ивановны выйти за него замуж. Она совсем не любила его и, кажется, никого не могла любить. Но у нее была какая-то болезненная потребность, чтобы в доме непременно был мужчина, и притом мужчина непременно законный. В самый день свадьбы доктор сделал приятное открытие, что Прасковья Иванов-

на — совсем не та женщина, какую он знал, бывая у покойного Бубнова в течение пяти лет его запоя ежедневно, — больше того, он не знал, что за человек его жена и после трехлетнего сожительства. Они оставались на «вы» и были более чужими людьми, чем в то время, когда доктор являлся в этот дом гостем. Затем доктор начал замечать за самим собою довольно странную вещь: он испытывал в присутствии жены с глазу на глаз какое-то гнетуще-неловкое чувство, как человек, которого все туже и туже связывают веревками, и это чувство росло, крепло и захватывало его все сильнее. Между тем Прасковья Ивановна решительно ничего не делала такого, что говорило бы о желании поработить его и, говоря вульгарно, забрать под башмак. Скорее она относилась к нему равнодушно, как к своим приказчикам, и чуть-чуть с оттенком холодного презрения. Да, она третировала его молча и особенно третировала почему-то ненавистную для нее его «ученость». Доктор волновался молча и глухо и как-то всем телом чувствовал, что не имеет никакого авторитета в глазах жены, а когда она была

не в духе или капризничала, он начинал обвинять себя в чем-то ужасном, впадал тоже в мрачное настроение и готов был на все, чтобы Прасковья Ивановна не дулась. Какая-то невидимая, более сильная воля давила и глушила его.

Целые часы доктор проводил в том, что разбирал каждый свой шаг и ловил самого себя в самом постыдном малодушии. Например, ему хотелось посидеть вечер у Стабровского, где всегда есть кто-нибудь интересный, а он оставался дома из страха, что это не понравится Прасковье Ивановне, хотя он сознавал в то же время, что ей решительно все равно и что он ей нужен столько же, как прошлогодний снег. Сидя где-нибудь в гостях, доктор вдруг схватывался и уходил домой, несмотря на все уговоры недавних приятелей посидеть и не лишать компании. Он чувствовал, что вот эти самые приятели начинают презирать его за это малодушие и за глаза смеются над ним, как раньше сам он вышучивал забитых женами мужей.

Это самоедство все разрасталось, и доктор инстинктивно начал сторониться даже лю-

дей, которые были расположены к нему вполне искренне, как Стабровский. Доктора вперед коробила мысль, что умный поляк все видит, понимает и про себя жалеет его. Именно вот это сожаление убивало доктора, поднимая в нем остаток мужской гордости.

«За кого они меня принимают, черт их всех побери?» — с ожесточением думал про себя доктор, чувствуя, что всех ненавидит.

Он отдыхал только у себя на службе, где чувствовал себя прежним Кочетовым. Но и тут происходили удивительные вещи: усиленное внимание, с каким он относился к своим больным, казалось ему аффектированным и деланым и что в сущности он только ломает жалкую комедию, напрасно стараясь убежать хоть на несколько часов от самого себя. Ему казалось, что и его пациенты это чувствуют и инстинктивно не доверяют ему, а слушают безграмотного фельдшера, который давил его тупою и самодовольною непосредственностью своей фальдшерской натуры.

Как за последний якорь спасения, доктор хватался за святую науку, где его интересовала больше всего психиатрия, но здесь он бук-

вально приходил в ужас, потому что в самом себе находил яркую картину всех ненормальных психических процессов. Наука являлась для него чем-то вроде обвинительного акта. Он бросил книги и спрятал их как можно дальше, как преступник избывает самых опасных свидетелей своего преступления.

Оставалось еще одно средство, когда Кочетов чувствовал себя живым человеком, это те громовые обличительные корреспонденции, которые он время от времени печатал в столичных газетах, разоблачая подвиги запольских дельцов. Проделывалось это в страшной тайне, и даже Прасковья Ивановна не подозревала, какой опасный человек ее муж. Дома писать доктор не решался, чтобы не попасться с поличным, он не смел затворить дверей собственного кабинета на ключ, а сочинял корреспонденции в дежурной своей больницы. Но раз он попался самым глупым образом. С истеричною больной сделался припадок, доктор бросился к ней на помощь, позабыв об оставленной на столе рукописи, — этого было достаточно, чтоб имя таинственного корреспондента, давно интриговавшего все

Заполье, было раскрыто. Может быть, заглянул в его рукопись фельдшер, может быть, сиделка или Кацман, но это все равно, а только через два дня Прасковья Ивановна явилась к нему в кабинет и с леденящим презрением проговорила:

— Так это вы, Анатолий Петрович, в газетах всех ругаете? Очень превосходно... да. Нечего сказать, хорошая ученость — всех срамить!..

— Прасковья Ивановна, вы...

— Я и разговаривать-то с вами не желаю, несчастный!

Прасковья Ивановна повернулась и вышла.

Результатом этого рокового открытия было то, что, когда доктор уходил из дома, вслед неслось:

— Корреспондент!..

Положение доктора вообще получалось критическое. Все смотрели на него, как на зачумленного. На его имя получались анонимные письма с предупреждением, что купцы нанимают Лиодора Малыгина избить его до полусмерти. Только два самых влиятельных

лица оставались с ним в прежних отношениях — Стабровский и Луковников. Они были выше всех этих дрязг и пересудов.

Раньше доктор изредка завертывал в клуб, а теперь бросил и это из страха скандала. Что стоило какому-нибудь пьяному купчине избить его, — личная неприкосновенность в Заполье ценилась еще слишком низко. Впрочем, доктор приобрел благодаря этим злоключениям нового друга в лице учителя греческого языка только что открытой в Заполье классической прогимназии, по фамилии Харченко. Кстати, этот новый человек сейчас же по приезде на место служения женился на Агнии Малыгиной, дополнив коллекцию малыгинских зятьев.

Господин Харченко явился к Кочетову знакомиться и заявил ему свое полное сочувствие.

— Очень рад, доктор... да. Мы поведем борьбу вместе... да. Нужно держать высоко знамя интеллигенции. Знаете, если бы открыть здесь свою собственную газету, да мы завязали бы в один узел всех этих купчишек, кабатчиков и вообще сибирских человеков.

— Если вы считаете меня богатым человеком, то это грустная ошибка, — предупредил Кочетов. — Газета прекрасная вещь, но она требует денег во-первых, во-вторых и в-третьих.

— О, за деньгами дело не станет! — уверенно говорил Харченко. — Важно, чтоб интеллигенция объединилась и дала отпор капиталу.

По наружности учителя греческого языка трудно было предположить о существовании такой энергии. Это был золотушный малорослый субъект с большою головой рахитика и кривыми ногами. К удивлению доктора, в этом хохлацком выродке действительно билась общественная жилка. Сначала он отнесся к нему с недоверием, а потом был рад, когда учитель завертывал потолковать.

По прежнему доктор бывал только у Стабровского. Старик всегда был рад ему, хотя и мучил вечными разговорами о своей Диде. Девочке было уже пятнадцать лет, но она плохо формировалась и рядом с краснощекою и здоровою Устенькой походила на какую-то дальнюю бедную родственницу, которую

недокармливают и держат в черном теле вообще. Но зато ум Диди работал гораздо быстрее, чем было желательно, и она была развита не по годам. Период формирования девочке стоил очень дорого, и на ее лице часто появлялось пугавшее отца выражение взрослой женщины.

— О, она плохо кончит! — уверял Стабровский в отчаянии и сам начинал смотреть на врачей, как на чудотворцев, от которых зависело здоровье его Диди. — Теперь припадки на время прекратились, но есть двадцать первый год. Что будет тогда?

— Самое лучшее, что вы сделаете, это — бросьте читать медицинские книги, — советовал Кочетов.

Стабровский действительно перерыл всю литературу о нервных болезнях и модной наследственности, и чем больше читал, тем больше приходил в отчаяние. Он в своем отцовском эгоизме дошел до того, что точно был рад, когда Устенька серьезно заболела тифом, будто от этого могло быть легче его Диде. Потом он опомнился, устыдился и старался выкупить свою несправедливость усиленным

вниманием к больной.

Устенька лежала в классной. Мисс Дудль ни за что не согласилась отпустить больную домой, в «пещерную обстановку». Эта привязанность замороженной англичанки тронула Тараса Семеныча до слез, и он согласился оставить дочь у Стабровских. Та же мисс Дудль настояла, чтобы лечил Устеньку доктор Кочетов, а не Кацман. Она вообще питала тайные симпатии к Кочетову и каждый раз испытывала неловкое смущение в его присутствии. Теперь она была счастлива, что целых две недели могла проводить с доктором по нескольку часов в день среди самой сближающей обстановки. Больная тоже предпочитала молодого доктора и слабо улыбалась, когда он входил в ее комнату. Дидя, конечно, была изолирована, хотя брюшной тиф и не заразителен.

Кочетов с удовольствием ехал каждый раз к своей больной и проводил здесь больше времени, чем было нужно. Тарас Семеныч встречал его умоляющими глазами, так что доктору делалось даже совестно.

— Я тут ни при чем, — точно оправдывался

он. — Все зависит от натуры... А Устенька, слава богу, субъект вполне нормальный.

Были два дня, когда уверенность доктора пошатнулась, но кризис миновал благополучно, и девушка начала быстро поправляться. Отец радовался, как ребенок, и со слезами на глазах целовал доктора. Устенька тоже смотрела на него благодарными глазами. Одним словом, Кочетов чувствовал себя в классной больше дома, чем в собственном кабинете, и его охватывала какая-то еще не испытанная теплота. Теперь Устенька казалась почти родной, и он смотрел на нее с чувством собственности, как на отвоеванную у болезни жертву.

«Какие они все хорошие, простые и добрые! — думал часто доктор. — И Устенька, и Тарас Семеныч, и Стабровский, и мисс Дудль...»

Больная привязалась к доктору и часто задерживала его своими разговорами. Чем-то таким хорошим, чистым и нетронутым веяло от этого девичьего лица, которому болезнь придала такую милую серьезность. Раньше доктор не замечал, какое лицо у Устеньки, а теперь удивлялся ее типичной красоте. Да,

это было настоящее русское лицо, хорошее своим простым выражением и какою-то затаенною ласковою силой.

Раз доктор засиделся у больной особенно долго и чувствовал себя как-то особенно легко.

— Мы скоро встанем на ноги и будем совсем большими, — шутил он. — У нас опять будет румянец на щеках, а потом мы...

Доктор вдруг замолчал, нахмурился и быстро начал прощаться. Мисс Дудль, знавшая его семейную обстановку, пожалела доктора, которого, может быть, ждет дома неприятная семейная сцена за лишние полчаса, проведенные у постели больной. Но доктор не пошел домой, а бесцельно бродил по городу часа три, пока не очутился у новой вальцовой мельницы Луковникова.

— Да... да... — вслух думал он и горько улыбался. — Да, я схожу с ума... Это верно... так и должно быть.

Голова доктора горела, ему делалось душно, а перед глазами стояло лицо Устеньки, — это именно то лицо, которое одно могло сделать его счастливым, чистым, хорошим, и,

увы, как поздно он это понял!

Глава 38

Против гостиного двора на каменном домике недавно умершего соборного протопопа красовалась желтая вывеска, гласившая красноречиво: «Банкирская контора Замараева и К°». Это учреждение существовало уже два года. С первых же шагов дела пошли прекрасно. Явились и вкладчики, и клиенты, и закладчики. Потребность в мелком кредите чувствовалась давно, и контора попала «в самую точку», как говорили обыватели. Сам Замараев переоделся на городскую руку и держал себя вообще очень солидно. Жена Анна Харитоновна тоже употребляла самые отчаянные усилия, чтоб отполировать себя на городскую руку, в чем ей усиленно помогала «полуштофова жена», как записная модница.

— Деревенщину-то пора бросать, — говорила она, давая наставления, как устроить по-городски квартиру, как одеваться и как вообще держать себя. — И знакомиться со всеми тоже не следует... Как я буду к вам в гости ездить, ежели вы меня будете сажать за один стол с каким-нибудь деревенским попом Ма-

каром или мельником Ермилычем?

— Уж вы только научите нас, сестрица, а мы по гроб жизни будем вам благодарны.

Замараевы, устраиваясь по-городски, не забывали своей деревенской скупости, которая переходила уже в жадность благодаря легкой наживе. У себя дома они питались редькой и горошницей, выгадывая каждую копейку и мечтая о том блаженном времени, когда, наконец, выдерутся в настоящие люди и наверстают претерпеваемые лишения. Муж и жена шли рука об руку и были совершенно счастливы.

— Да, без копеечки и рублика не бывает, — говорил каждый вечер Замараев, укладываясь спать и подводя в уме дневной баланс.

Благодаря «полуштофовой жене» Замараевы завели приличные знакомства и даже бывали в клубе. За спиной их бранили закладчиками и выжигами, а в лицо улыбались и даже заискивали. Мелкое купечество, не пользовавшееся кредитом в Коммерческом банке, обращалось за ссудами в замараевскую контору, не говоря уже о мелких торговцах, ремесленниках и просто голытьбе. Деньги

так и плыли в новую контору, и в каких-нибудь два года Замараев совсем оперился. Ему много помог Голяшкин, знавший весь город, как свои пять пальцев, и являвшийся одним из главных вкладчиков конторы. Он сделался своим человеком у Замараевых и первым другом.

Чурался Замараевых по прежнему один Харитон Артемьич. Зятя он не пускал к себе на глаза и говорил, что он только его срамит и что ему низко водить хлеб-соль с ростовщиками. Можно представить себе удивление бывшего суслонского писаря, когда через два года старик Малыгин заявился в контору самолично.

— Пришел посмотреть на твою фабрику, — грубо объяснял он. — Любопытно, как вы тут публику обманываете... Признаться оказать, я всегда считал тебя дураком, а вышло так, что ты и нас поучишь... да. По нынешним-то временам не вдруг разберешь, кто дурак, кто умный.

— Все это вы, тятенька, так говорите для морали, а мы вам завсегда рады... Уж так рады... Чайку бы вечерком откушать.

— Ладно, ладно, не заговаривай зубов. В долг поверю... У меня из вашего брата, зятьев, целый иконостас.

Харитон Артемьич давно уже не пил ничего и сильно постарел, — растолстел, обрюзг, поседел и как-то еще сильнее озлобился. В своем доме он являлся настоящею грозою.

Замараев, конечно, понимал, что грозный тятенька неспроста приходил к нему. Действительно, через неделю он явился к нему уже на квартиру, прямо к вечернему чаю.

— Вот и пришел, — говорил он, тяжело дыша. — Да, пришел... И не сам пришел, а неволя привела... да.

Замараевы не знали, как им и принять дорогого гостя, где его посадить и чем угостить. Замараев даже пожалел про себя, что тятенька ничего не пьет, а то он угостил бы его такою деревенскою настойкой по рецепту попа Макара, что с двух рюмок заходили бы в башке столбы.

— Да вы не хлопочите: не за угощеньем я пришел, а по делу. Ты бы, Анна, тово, вышла, а мы тут покалякаем.

— Пойдемте, тятенька, в кабинет.

— В кабинет? Ах ты, подкопенная мышь!.. Х-ха!.. Тоже и слово знает.

Усевшись в кресло в кабинете, Харитон Артемьич вытер лицо бумажным платком и проговорил:

— Подлецы все — вот что я тебе скажу, милый зятюшка. Вот ты меня и чаем угощаешь, и суетишься, наговариваешь: «тятенька! тятенька!» — а черт тебя знает, какие у тебя узоры в башке... да.

— Помилуйте, тятенька, да я... провалиться на этом самом месте.

— Не перешибай. Не люблю... Говорю тебе русским языком: все подлецы. И первые подлецы — мои зятья... Молчи, молчи! Пашка Булыгин десятый год грозится меня удавить, немец Штофф продаст, Полуянов арестант, Галактион сам продался, этот греческий учителишка тоже оборотень какой-то... Никому не верю! Понимаешь?

— В лучшем виде все могу понять-с, тятенька.

— Не перешибай, сказано тебе! — крикнул старик и даже стукнул кулаком по письменному столу. — Забыл, с кем разговарива-

ешь-то? Все подлецы... Мы были хороши, когда обманывали слепую орду кунарскими деньгами, а нашлись почище нас. Вот как обувают — одна нога в сапоге, а на другой уж лапоть. Теперь возьми хоть мою стеариновую фабрику... Ведь это прямо петля на шею! Травим-травим деньжищ, а конца краю нет, точно в яму какую. Прорва... Я больше ста тыщ законопатил в нее, Шахма близко двухсот, Ечкин векселей на столько же выдавал... Понял?

— Агромадное дело-с, тятенька...

— Дурак! Кто тебя спрашивает?

Старик даже вскочил и затрясся от злости, а потом бессильно опустился на кресло и както захрипел.

— Спьяну я тогда всунулся в это самое дело... Некрещеный жид обошел. Ну, да уж дело сделано, а снявши голову, по волосам не тужат... Главное, что подлецы все! Шахма уж прижал уши и больше денег не дает, кыргыцкая образина, у Ечкина, окромя векселей, одни перстеньки да жилетки — значит, должон я вывозить... Фабрика-то готова, и стеариновые свечи мы делаем, а тут из Казани нас вот

как зачали поджимать своею казанскою свечой. Дело-то на конкуренцию пошло, а барыши потом. Ежели я не дам денег — конец тому делу. Жаль бросать... Понимаешь, затравка-то какая сделана: сто тысяч не баран начихал... да. То есть, как я увижу сейчас эту самую стеариновую свечу, так меня даже мутить начинает. Дурака я свалял такого, что и не перелезешь. Прямо тебе говорю: дурак старый дурак... По-настоящему-то как бы следовало сделать: повесить замочек на всю эту музыку — и конец тому делу, да лиха беда, что я не один — компаньоны не дозволят.

Старик показал рукой, как он запер бы на замок проклятую фабрику и как его связали по рукам и по ногам компаньоны.

— Да, так вот какое дело, зятюшка... Нужно мне одну штуку удумать, а посоветоваться не с кем. Думал-думал, нет, никому не верю... Продадут... А ты тоже продашь?

— Тятенька, да вот я сейчас образ со стены сниму.

— Ну, ну, ладно... Притвори-ка дверь-то. Ладно... Так вот какое дело. Приходится везти мне эту стеариновую фабрику на своем гор-

бу... Понимаешь? Деньжонки у меня есть... ну, наскребу тысяч с сотню. Ежели их отдать — у самого ничего не останется. Жаль... Тоже наживал... да. Я и хочу так сделать: переведу весь капитал на жену, а сам тоже буду векселя давать, как Ечкин. Ты ведь знаешь законы, так как это самое дело, по-твоему?

— Даже весьма просто: вы переводите весь капитал на маменьку, а она вам пишет духовную — так и так, отказываю все по своей смерти мужу в вечное и потомственное владение и собственность нерушимо. Дом-то ведь на маменьку, — ну, так заодно и капитал пойдет.

— А ошибки не выйдет?

— Какая же тут ошибка? Жена ваша и капитал, значит, ваш, то есть тот, который вы положите на ее имя. Я могу вам и духовную составить... В лучшем виде все устроим. А там векселей выдавайте, сколько хотите. Это уж известная музыка, тятенька.

— Вот, вот... Люблю умственный разговор. Я то же думал, а только законов-то не знаю и посоветоваться ни с кем нельзя, — продадут. По нынешним временам своих боишься боль-

ше чужих... да.

— Уж не сумлевайтесь, тятенька.

— Хорошо, я подумаю. А ты держи язык за зубами и даже жене — ни-ни.

— Помилуйте, как же можно, тятенька? Совсем даже не женское это дело.

Когда старик ушел, Замараев долго не мог успокоиться. Он даже закрывал глаза, высчитывая вперед разные возможности. Что же, деньги сами в руки идут... Горденек тятенька, — ну, за свою гордость и поплатится. Замараеву даже сделалось страшно, — очень уж легко деньги давались.

Через неделю старик опять явился. Проект духовной уже был готов.

— Главное, чтобы никто не знал, — упрашивал Харитон Артемьич.

— Будьте спокойны, комар носу не подточит.

Из предосторожности Харитон Артемьич сначала заставил жену подписать духовную, а потом уже внес сто тысяч на ее имя в Коммерческий Запольский банк.

— Так-то будет вернее, — говорил он, еще раз прочитывая составленную Замараевым

духовную. — Вот что, Флегонт, как я теперь буду благодарить тебя?

— Помилуйте, тятенька, да я для вас из собственной кожи завсегда готов выскочить, а не то чтобы подобные сущие пустяки.

— Хорошо, хорошо. Помру, так вам же все достанется. Не для себя хлопочу.

Устроив эту операцию, Харитон Артемьич совершенно успокоился и сразу повеселел. Что же, другие живут, и мы будем жить.

В малыгинском доме было много перемен, начиная с остепенившегося хозяина и кончая принятым в дом последним зятем. Харитон Артемьич больше не ездил в степь и всецело посвятил себя новой фабрике и радостям семейной жизни. Последнему Анфуса Гавриловна, пожалуй, была даже и не рада, потому что очень уж «сам» строжил всех и неистово ругался с утра до ночи. От него все домашние теперь сторонились, по возможности избегая встреч. Даже бойкая Харитина, и та появлялась только, когда отца не было дома. Исключение представлял новый зять. Сначала Харитон Артемьич относился к нему, как к дурачку, навеличивая «грецкой губой» и выкиды-

вая разные грубые шутки. Харченко сам за словом в карман не лазил и в свою очередь вышучивал тестя с хохлацким юмором. Иногда эти словесные ратоборства принимали опасную форму, и вступалась уже Анфуса Гавриловна.

— Да будет вам, петухи галанские... Еще подеретесь. Поговорили, и довольно.

В течение целого года старушка присматривалась к последнему зятю, подыскивая какой-нибудь недостаток, и решительно ничего не могла найти. Главное — неизвестный совсем человек и потом с хохлацкой стороны. Иногда старушке приходили совсем нелепые мысли: а вдруг он двоеженец? Был один такой случай в Заполье, — простой бондарь и вдруг оказался двоеженцем. Анфуса Гавриловна точно боялась полюбить последнего зятя, как любила раньше других зятьев. Очень уж горько ей доставались они. Старушка вообще заметно опускалась и постепенно впадала в старческое детство. Боевой период, когда она маялась с мужем, детьми и зятьями, миновал, и она начинала чувствовать, что как будто уж и не нужна даже в своем дому, а

в том роде, как гостья. Часто, сидя за обедом, когда «самого» не было, Анфуса Гавриловна долго и внимательно рассматривала зятя, качала головой и говорила:

— И отколь ты взялся только, Иван Федорыч?.. Вот уж воистину, что от своей судьбы не уйти. Гляжу я на вас и думаю, точно я гостья... Право!

Старушка любила пожаловаться новому зятю на его предшественников, а он так хорошо умел слушать ее старческую болтовню. Да и вообще аккуратный человек, как его ни поверни. Анфусе Гавриловне иногда делалось смешно над Агнией, как она ухаживала за мужем, — так в глаза и смотрит. Насиделась в девках-то, так оно и любопытно с своим собственным мужем пожить.

Впрочем, у Харченки была одна привычка, которая не нравилась теще: все-то ему нужно было знать, и везде он совал нос, особенно по части городских дел. И то не так и это не так, — всех засудит и научит.

— Больно ты прыток до чужих дел, как я погляжу, Иван Федорыч, — заметила ему старушка. — И все у тебя неладно.

— Нельзя, мамаша. Я человек общественный...

Глава 39

Харитина жила по прежнему у Галактиона, нигде не бывала и вела себя очень скромно, как настоящая вдова. Она как-то вся притихла, сделалась серьезной и много занималась хозяйством. За сестрой она ухаживала, как мать, и всячески старалась ее вылечить от запоя. Серафима продолжала упорствовать и ни за что не хотела сознаться в своей болезни. Галактион знал все, но не подавал виду, а только стал вести все хозяйственные дела с Харитиной, — она получала деньги, производила все расчеты и вела весь дом. Она же наблюдала и детей, которые быстро росли и требовали ухода.

Многого, что делается в доме, Галактион, конечно, не знал. Оставшись без денег, Серафима начала закладывать и продавать разные золотые безделушки, потом столовое серебро, платье и даже белье. Уследить за ней было очень трудно. Харитина нарочно покупала сама проклятую мадеру и ставила ее в буфет, но Серафима не прикасалась к ней.

— С чего это ты взяла, что я буду пить мадеру? — удивлялась она. — Вот выдумают!

Уговоры матери тоже не производили никакого действия, как наговоры и нашептывания разных старушек, которых подсылала Анфуса Гавриловна. Был даже выписан из скитов старец Анфим, который отчитывал Серафиму по какой-то старинной книге, но и это не помогло. Болезнь шла своим чередом. Она растолстела, опухла и ходила по дому, как тень. На нее было страшно смотреть, особенно по утрам, когда ломало тяжелое похмелье.

По утрам Серафима иногда подсаживалась к окну и плакала.

— Ты это о чем плачешь, Сима? — спрашивала Харитина.

— Так.

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет... Уйди от меня.

— Ты на меня сердишься?

— Нет, я тебя боюсь... уйди... Скоро я умру, тогда... ах, я ничего не знаю!

О муже она никогда не спрашивала, к детям была равнодушна и ни на что не обращала внимания, до своего костюма включитель-

но. Что ей подадут, то она и наденет.

Харитине иногда казалось, что сестра ее упорно наблюдает, точно хочет в чем-то убедиться. Ей делалось жутко от взгляда этих воспаленных глаз. Виноватой Харитина все-таки себя не чувствовала. Кажется, уж она про все забыла, да и не было ничего такого, в чем бы можно было покаяться.

— Сима, ты меня не любишь? — спрашивала Харитина сестру, когда та изводила ее своим упорным взглядом.

— Нет, люблю.

— Что ты так смотришь на меня?

— Красивая ты, вот я и смотрю... Тебя все любят, и я тоже люблю. Красивым хорошо жить на свете...

Раз ночью Харитина ужасно испугалась. Она только что заснула, как почувствовала, что что-то сидит у ней на кровати. Это была Серафима. Она пришла в одной рубашке, с распущенными волосами и, кажется, не понимала, что делает. Харитина взяла ее за руку и, как лунатика, увела в ее спальню.

Какие отношения были у Галактиона с Харитиной, никто не знал, но все говорили, что

он живет с ней, и удивлялись отчаянной смелости бывшей исправницы грешить на глазах у сестры.

Впрочем, Галактион почти не жил дома, а все разъезжал по делам банка и делам Стабровского. Прохоров не хотел сдаваться и вел отчаянную борьбу. Стороны зашли уже слишком далеко, чтобы помириться на пустяках. Стабровский с каждым годом развивал свои операции все шире и начинал теснить конкурента уже на его территории. Весь вопрос сводился только на то, которая сторона выдержит дольше. О пощаде не могло быть и речи.

Все Зауралье и громадный степной край были заинтересованы этою отчаянною борьбой. В этих мирных краях еще не бывало ничего подобного. Все следили с возрастающим интересом за исходом этого ратоборства, обставленного небывалыми средствами. Являлось уже вопросом чести, кто выйдет победителем, и стороны не щадили ничего. Главным деятелем со стороны Стабровского являлся Галактион, который настолько увлекся этим делом, что считал его своим. Его затянула горячка борьбы, где уже не было места размыш-

лениям, что худо и что хорошо. Стабровский не ошибся, выбрав такого помощника, и при всяком удобном случае говорил:

— В тот день, когда Прохоров принесет повинную, у вас будет первый пароход... да. Даю вам мое честное слово.

Зная хорошо, что значит даже простое слово Стабровского, Галактион ни на минуту не сомневался в его исполнении. Он теперь пропадал целыми неделями по деревням и глухим волостям, устраивая новые винные склады, заключая условия с крестьянскими обществами на открытие новых кабаков, проверяя сидельцев и т. д. Работы было по горло, и время летело совершенно незаметно. Галактион сам увлекался своею работой и проявлял редкую энергию.

Склады и кабаки открывались в тех же пунктах, где они существовали у Прохорова и К *о*, и открывалось наступательное действие понижением цены на водку. Получались уже технические названия дешевых водок: «прохоровка» и «стабровка». Мужики входили во вкус этой борьбы и усиленно пропивались на дешевке. Случалось нередко так, что конку-

ренты торговали уже себе в убыток, чтобы только вытеснить противника.

Характерный случай выдался в Суслоне. Это была отчаянная вылазка со стороны Прохорова, именно напасть на врага в его собственном владении. Трудно сказать, какой тут был расчет, но все произошло настолько неожиданно, что даже Галактион смутился. Одно из двух: или Прохоров получил откуда-нибудь неожиданное подкрепление, или в отчаянии хотел погибнуть в рукопашной свалке. Важно было уже то, что Прохоров и К° появились в самом «горле», как выражались кабатчики.

Галактион полетел в Суслон.

— Ничего не жалейте, чтобы задушить его, — давал Стабровский последние инструкции. — Раненный смертельно, медведь всегда бросается прямо на охотника... да...

Для Галактиона этот ход противника был крупною неприятностью, как непредусмотренное действие. Что тут ни говори, а Прохоров жив, о чем кричала каждая кабацкая вывеска.

Дело было в начале декабря, в самый раз-

вал хлебной торговли, когда в Суслон являлись тысячи продавцов и скупщиков. Лучшего момента Прохоров не мог и выбрать, и Галактион не мог не похвалить находчивости умного противника.

В течение десяти лет Суслон совершенно изменил свою физиономию. Из простого зауральского села он превратился в боевой торговый пункт, где начала развиваться уже городская торговля, как лавки с красным товаром, и даже появился галантерейный магазин. Раньше был один кабак, а теперь целых десять. Простые деревенские избы перестраивались на городскую руку, обшивались тесом и раскрашивались. Появились дома с мезонинами и городскими палисадниками. Суслонских мужиков деревенские соседи называли купцами. Крупчатные мельницы, выстроенные на Ключевой, подняли торговлю пшеницей до неслыханных размеров, а винокуренный завод Стабровского скупал ежегодно до миллиона пудов ржи. Поверенные крупных фирм жили в Суслоне безвыездно, что придавало ему вид какого-то ярмарочного городка. Галактион не был здесь больше трех лет, не

желая встречаться с отцом, и был поражен происшедшею переменой. Ему сделалось както неловко, точно он давно-давно уехал отсюда и успел состариться.

Появление Галактиона в Суслоне произвело известное волнение в среде разных доверенных, поверенных и приказчиков. Его имя уже пользовалось популярностью. Он остановился в бывшем замараевском доме, о котором квартировал поверенный по закупке хлеба Стабровского молодой человек из приказчиков.

— Ну, как дела? — спрашивал Галактион.

— Да ничего, помаленьку... Очень уж много здесь народу набилось, друг друга начинаем давить. Ходят слухи, что Прохоров тоже хочет строить винокуренный завод на Ключевой. И место выбрал у Бакланихи.

— Немного он поздно догадался, — засмеялся Галактион. — Пороху не хватит... Если бы раньше он это устроил, годика три назад, а теперь трудно с нами тягаться.

Между прочим, поверенный с некоторыми предосторожностями сообщил, что Михей Зотыч достраивает уже третью мельницу: одна

пониже Ермилыча на Ключевой уж работает, а другая — в Шабрах, на притоке Ключевой достраивается.

— Знаю, — коротко ответил Галактион. — Напрасно старик затягивается, — тоже пороху не хватит. Мельницы-то выстроит, а на товар, пожалуй, и не хватит.

— И то поговаривают, Галактион Михеич. Зарвался старичок... Да и то сказать, горит у нас работа по Ключевой. Все так и рвут... Вот в Заполье вальцовая мельница Луковникова, а другую уж строят в верховье Ключевой. Задавят они других-то крупчатников... Вот уж здесь околачивается доверенный Луковникова: за нашею пшеницей приехал. Своей-то не хватает... Что только будет, Галактион Михеич. Все точно с ума сошли, так и рвут.

Не теряя времени, Галактион сейчас же открыл наступательное действие против Прохорова, понизив цену на водку из склада и в пяти кабаках. Время было самое удобное, потому что в Суслоне был большой съезд крестьян, привезших на базар хлеб. Слух о дешевке «стабровки» разнесся сейчас же, и народ бросился наперебой забирать дешевую

водку, благо близился зимний Никола, а там и святки не за горами, — водки всем нужно. К вечеру поверенный Прохорова и К *о* тоже понизил цену и стал продавать свою «прохоровку» дешевле «стабровки». Покупатели отхлынули к кабакам Прохорова.

Настоящий поход начался на следующий день, когда Галактион сделал сразу понижение на десять процентов. Весть о дешевке разнеслась уже по окрестным деревням, и со всех сторон неслись в Суслон крестьянские сани, точно на пожар, — всякому хотелось попробовать дешевки. Сам Галактион не выходил и сидел на квартире. Он стеснялся показываться на улице. Его разыскал Вахрушка, который прибежал из Прорыва на дешевку пешком.

— Ах, Галактион Михеич, отец родной, и что только делается! — повторял задыхавшийся от волнения старик. — Вот скоро на седьмой десяток перевалит мне, а чтобы этакого, например, подобного... Я перво-наперво бросился в твой кабак, ну, и стаканчик дешевки хлебнул, а потом побежал к Прохорову и тоже стаканчик зарядил. Народ-то последнего

ума решился: так и ходит из кабака в кабак. Тоже всякому любопытно... Скоро и посудины не хватит. Ах, боже мой!.. А краснорядцы сидят в пустых лавках и ругательски ругаются... Пропьются мужики напрочь.

— Ты не торопись, Вахрушка. Еще успеешь, — советовал Галактион.

— Н-но-о? Ведь в кои-то веки довелось испить дешевки. Михей-то Зотыч, тятенька, значит, в Шабрах строится, Симон на новой мельнице, а мы, значит, с Емельяном в Прорыве руководствуем... Вот я и вырвался. Ах, братец ты мой, Галактион Михеич, и что вы только придумали! Уж можно сказать, што уважили вполне.

— А ты погоди напиваться-то, еще дешевле будет.

— Н-но-о?!.. И что такое только будет... Как бы только Михей Зотыч не выворотился... До него успевать буду уж как-нибудь, а то всю музыку испортит. Ах, Галактион Михеич, отец ты наш!.. Да мы для тебя ничего не пожалеем!

Вахрушка, не внимая предостережению Галактиона, прямо из писарского дома опять

ринулся в кабак. Широкая деревенская улица была залита народом. Было уже много пьяных. Народ бежал со стеклянною посудиной, с квасными жбанами и просто с ведерками. Слышалось пьяное галденье, хохот, обрывки песен. Где-то надрывалась гармония.

— Ах, братцы мои... родимые вы мои! — кричал Вахрушка, врезываясь в двигавшуюся толпу. — Привел господь на старости лет... ах, братцы!

Приказчики стояли у магазинов и смотрели на одуревшую толпу. Какие-то пьяные мужики бежали по улице без шапок и орали:

— «Стабровка» три копейки стакан!.. Братцы!.. Три копейки!..

Вахрушка отведал сначала «прохоровки», потом «стабровки», потом опять «прохоровки», — сидельцы все понижали цену. В кабаке Прохорова один мужик подставлял свою шапку и требовал водки.

— Лей!.. Пусть и шапка пьет!

Вахрушка пробежал село из конца в конец раз десять. Ноги уже плохо его слушались, но жажда оставалась. Ведь другого раза не будет, и Вахрушка пробивался к кабацкой стойке с

отчаянною энергией умирающего от жажды. Закончилась эта проба тем, что старик, наконец, свалился мертвецки пьяным у прохоровского кабака.

Глава 40

Вахрушка проснулся с страшной головною болью и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Башка трещала неистово, точно готова была расколоться на несколько частей. Вахрушка лежал на полу, на какой-то соломе. С левого бока его давило что-то холодное, чего он не мог даже оттолкнуть, потому что сам лишен был способности двигаться. Только присмотревшись кругом, Вахрушка с ужасом сообразил, в чем дело. Во-первых, он находился в «темной» при волости, куда сам когда-то сажал Михея Зотыча; во-вторых, теперь темная битком была набита мертвецки пьяными, подобранными вчера «на дешевке», а в-третьих, с левого бока лежал рядом с ним окоченевший труп запившегося насмерть.

Последнее открытие вышибло из старого солдата весь хмель, и он бросился к двери.

— Ради Христа, отпусти живую душу на покаянье! — умолял он сторожа, тоже из отстав-

ных солдат.

Хорошо, что еще сторож-то знакомый человек и сейчас выпустил.

— Здорово ты вчера лакнул, — коротко объяснил он. — Хорошо, што мельник Ермилыч подобрал тебя и привез сюда, а то так бы и замерз в снегу.

— Отец родной, отпусти!

Сторож только покачал головой, когда Вахрушка опрометью кинулся из волости, даже позабыл шапку.

— Эй, служба, шапку-то забыл!

Вахрушка только махнул рукой и летел по улице, точно за ним гналась стая волков. У него в мозгу сверлила одна мысль: мертвяк... мертвяк... мертвяк. Вот нагонит Полуянов и сгноит всех в остроге за мертвое тело. Всех изведет.

Старик немного опомнился только в кабаке Стабровского, где происходила давка сильнее вчерашней. Дешевка продолжалась с раннего утра, и народ окончательно сбился с ног. Выпив залпом два стакана «стабровки», Вахрушка очухался и даже отплюнулся. Ведь вот как поблазнит человеку... Полуянова испугал-

ся, а Полуянов давным-давно сам на поселении. Тьфу!

— Ах, братец ты мой... ддаа! — мычал Вахрушка. — Ну-ка, лени ищо один стаканчик.

Припоминая «мертвяка», рядом с которым он провел ночь, Вахрушка долго плевался и для успокоения пил опять стаканчик за стаканчиком, пока совсем не отлегло от души. Э, наплевать!.. Пусть другие отвечают, а он ничего не знает. Ну, ночевал действительно, ну, ушел — и только. Вахрушке даже сделалось весело, когда он представил себе картину приятного пробуждения других пьяниц в темной.

Вахрушка оставался в кабаке до тех пор, пока не разнеслось, что в темной при волости нашли трех опившихся. Да, теперь пора было и домой отправляться. Главное, чтобы достигнуть своего законного места до возвращения Михея Зотыча. Впрочем, Вахрушка находился в самом храбром настроении, и его смущало немного только то, что для полной формы недоставало шапки.

— Э, наплевать! — ругался в пространство Вахрушка. — С голого, что со святого — взятки

гладки... Врешь, брат!.. Вахрушка знает свою линию!

Он так и отправился к себе на мельницу без шапки, а подходя к Прорыву, затянул солдатскую песню:

Во злосчастный день, во среду...
Злы... злые турки собиралися!..
Да они во хмелюшке похвалялись:
Мы Рассеюшку наскрозь пройдем...
Граф Паскевича[50] во полон возьмем!..

Расхрабрившийся старик уже шел по мельничной плотине, когда его остановил знакомый голос:

— Эй ты, крупа несчастная, куда прешь?

Вахрушка оглянулся и обомлел: перед ним стоял Михей Зотыч.

— Да откуда ты взялся-то? — бормотал Вахрушка, разводя руками. — Вот так оказия!

— Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть? — наступал хозяин.

— Я? А я домой...

— Обознался, миленький. Твой дом остался на дешевке... Вот туда и ступай, откуда

пришел.

Михей Зотыч взял старика за плечо, повернул и толкнул в шею.

— Ступай, ступай, кабацкая затычка!.. И скобленого своего рыла не смей показывать!

Вахрушка по инерции сделал несколько шагов, потом обернулся и крикнул:

— А ты думаешь, я тебя боюсь?.. Ах ты, тараканья кость!.. Да я тебя так расчешу!.. Давай расчет, одним словом!.. За все за четыре года.

— Какой это расчет? Это расчет за то, что я тебя держал-то четыре года из милости да хлебом кормил?

На Вахрушку опять накатил храбрый стих, и он пошел на хозяина.

— Так ты не хочешь мне жалованья платить, собачья жила, а?.. Не хочешь?

Михей Зотыч сначала отступил, а потом побежал с криком:

— Ах, батюшки, солдат убил!.. Убил солдат проклятый!

На хозяйский крик выскочили с мельницы рабочие и кинулись на Вахрушку. Произошла горячая свалка. Старика порядочно помяли, а кто-то из усердия так ударил по носу, что у

Вахрушки пошла кровь.

— Что, получил расчет? — кричал издали Михей Зотыч.

Вахрушку выпроводили с мельницы в три шеи. Очутившись опять на дороге в Суслон, старик долго чесал затылок, ругался в пространство и, наконец, решил, что так как во всем виноват Галактион благодаря его проклятой дешевке, то он и должен выручать. Вахрушка заявился в писарский дом весь окровавленный и заявил:

— Уж ты как хочешь, Галактион Михеич, а только того... Одним словом, расчет получил от тятеньки.

— Ты ступай сначала на кухню и вымойся.

Галактион кое-как понял, в чем дело. Конечно, Вахрушка напился свыше меры — это так, но, с другой стороны, и отец был неправ, не рассчитав старика. Во всем этом было что-то такое дикое.

— Из-за тебя вся оказия вышла, Галактион Михеич, — с наивностью большого ребенка повторял Вахрушка. — Вчера еще был я человеком, а сегодня ни с чем пирог... да. Значит, на подножный корм.

У Галактиона явилась мысль досадить отцу косвенным образом, и он, подумав, проговорил:

— Вот что, Вахрушка, и ты неправ и отец тоже... Ну, я тебя, так и быть, увезу в город и определю на место. Только смотри, уговор на берегу: водки ни-ни.

— Да я, Галактион Михеич... Ни боже мой!.. Да мне наплевать, хоть вовсе ее не будь... Уж я заслужу!..

Огорченный старый солдат даже прослезился и, глотая слезы, прошептал:

— Да ведь я, Галактион Михеич, блаженныя памяти государю ампиратору Николаю Первому двадцать пять лет верой и правдой послужил... Ведь нет косточки неломаной... Агличанку вышибал под Севастополем... Да я... Ах, боже мой!..

— Ты ступай в кухню, там переночуешь, а завтра вместе уедем.

Вахрушка только ударил себя в грудь и молча вышел.

Вечером этого дня дешевка закончилась. Прохоров был сбит и закрыл кабаки под предлогом, что вся водка вышла. Галактион сидел

у себя и подсчитывал, во сколько обошлось это удовольствие. Получалась довольно крупная сумма, причем он не мог не удивляться, что Стабровский в своей смете на конкуренцию предусмотрел почти из копейки в копейку ее стоимость специально для Суслона. Именно за этим занятием накрыл Галактиона отец. Он, по обыкновению, пробрался в дом через кухню.

— Что, сынок, барыши считаешь? Так... Прикинь на счетах еще трех мужиков, опившихся до смерти твоею-то дешевкой.

— Ах, это вы, папаша!..

Старик мало изменился за эти три года, и Галактион в первую минуту немного смутился каким-то детским, привычным к повиновению, чувством. Михей Зотыч так же жевал губами, моргал красными веками и имел такой же загадочный вид.

— Хорошо, сынок... Метлой подметаете три уезда. Скоро голодной мыши нечем будет накормить. Поглядел я сегодня, как народ-то радуется... да.

— Мы-то при чем тут, родитель? Кажется, никого не неволим.

— Так, так, сынок... Это точно, неволи нет. А я-то вот по уезду шатаюсь, так все вижу: которые были запасы, все на базар свезены. Все теперь на деньги пошло, а деньги пошли в кабак, да на самовары, да на ситцы, да на треньбрень... Какая тут неволя? Бога за вас благодарят мужички... Прежде-то все свое домашнее было, а теперь все с рынка везут. Главное, хлебушко всем мешает... Ох, горе душам нашим!

— Папаша, а сколько ваши крупчатки-мельницы этого хлеба перемелют? Ваш почин...

— Крупчатка пшеничку мелет, — это особь статья, — а вы травите дар божий на проклятое винище... Ох, великий грех!.. Плохо будет, — и мужику плохо, и купцу, и жиду. Ведь все хлебом живем. Не потерпит господь нашего неистовства. Попомни мое слово, Галактион... Может, я и не доживу, а вы-то своими глазами увидите, какую работу затеяли. По делам вашим и воздается вам... Бесу служите, маммону свою тешите, а господь-то и найдет, найдет и смирит. Ты своим-то жидам скажи это, — вот, мол, какое слово мне родитель ска-

зал. Выжил, мол, старик совсем из ума и свои старые слова болтает.

Галактион ждал этого обличения и принял его с молчаливым смирением, но под конец отцовской речи он почувствовал какую-то фальшь не в содержании этого обличения, а в самой интонации, точно старик говорил только по привычке, но уже сам не верил собственным словам. Это поразило Галактиона, и он вопросительно посмотрел на отца.

— Правда, родитель, — коротко согласился он. — Только ведь мы, молодые, у вас, старичков, учимся.

— Так, так, сынок... Худому учитесь, а доброго не видите. Ну, да это ваше дело... да. Не маленькие и свой разум должны иметь.

Наступила неловкая пауза. Старик присел к письменному столу и беззвучно жевал губами. Его веки закрепились точно у засыпающего человека. Галактион понимал, что все предыдущее было только вступлением к чему-то.

— Завтра в город едешь? — спросил старик, глядя в упор.

— Да, пора. Сегодня мы все покончили.

— Так, так... гм...

Опять молчание. Михей Зотыч тяжело повернулся на своем стуле, похлопал рукой по столу и проговорил с деланым равнодушием:

— Ну, а что ваш банк?

— Ничего... Дело идет.

— Так, так... Сказывают, что запольские-то купцы сильно начали закладываться в банке. Прежде-то этого было не слыхать... Нынче у тебя десять тысяч, а ты затеваешь дело на пятьдесят. И сам прогоришь, да на пути и других утопишь. Почем у вас берут-то на заклад?

— Смотря по тому, что закладывают, папаша. Процентов двенадцать набежит, а то и побольше.

— А тут еще страховка да поземельные.

— Это уж банк за счет заемщика делает.

— Так, так... Ну, а что бы вы дали, например, за мельницу на Прорыве? Это я к примеру говорю.

Галактион прикинул в уме и заявил:

— Больше десяти тысяч не дадут.

— Что-о?

Старик подскочил на месте.

— Да она мне восемьдесят стоит... Ты сам

знаешь. Это грабеж.

— Для вас, папаша, она восемьдесят стоит, а для банка десять. Станьте-ка ее продавать по вольной цене — и десяти напроситесь.

— Да ведь я выкуплю свое добро! Для чего же тогда ваш банк?.. Десять тысяч — не деньги.

— Знаешь что, родитель: это я тебе даю десять тысяч, а так банк не даст.

Старик спохватился и как-то виновато забормотал:

— Ну, мне-то не нужно... Я так, к слову. А про других слыхал, что начинают закладываться. Из наших же мельников есть такие, которые зарвутся свыше меры, а потом в банк.

Галактион понял, в чем дело, и, сделав вид, что поверил отцу, проговорил:

— А на всякий случай, папаша, запомните мою цену. Мало ли что не бывает на свете. Не прежние времена, папаша.

— Да, да... Ох, не прежние!.. И наш брат, купец, и мужик — все пошатнулись.

Отец и сын на этот раз расстались мирно. Галактион даже съездил в Прорыв, чтобы по-

видаться с Емельяном, который не мог приехать в Суслон, потому что его Арина Матвеевна была больна, — она в отсутствие грозного тестя перебралась на мельницу. Михей Зотыч делал вид, что ничего не знает о ее присутствии. Этот обман тяготил всех, и Галактион от души пожалел молчавшего, по обыкновению, Емельяна.

Глава 41

Вахрушка, отправляясь в город с Галактионом, торжествовал и всю дорогу болтал.

— Ух, надоела мне эта самая деревенская темнота! — повторял он. — Ведь я-то не простой мужик, Галактион Михеич, а свою полировку имею... За битого двух небитых дают. Конешно, Михей Зотыч жалованья мне не заплатили, это точно, а я не сержусь... Что же, ему, может, больше надо. А уж в городе-то я вот как буду стараться. У меня короткий разговор: раз, два — и готово. Ха-ха... Дела не подгадим. Только вот с мертвяком ошибочка вышла.

Галактион дорогой думал об отце. Для него было ясно, что старик начинает запутываться в делах и, может быть, даже сам не знает еще

многого. Деньги, как здоровье, начинают чувствоваться, когда их нет. В хлебном деле с поразительною быстротой вырастала самая отчаянная конкуренция главным образом по Ключевой, на которой мельницы-крупчатки росли, как грибы. Предсказания Галактиона отцу, которые он делал перед своим уходом, начинали сбываться. В дело выдвигались громадные капиталы, и обороты шли на миллионы рублей. У старика Колобова, может быть, весь капитал был не больше двухсот тысяч, в чем Галактион сейчас окончательно убедился, а с такими деньгами трудно бороться на оживившемся хлебном рынке. Запольские капиталы двинулись оптом на хлебный рынок, и среднему купцу становилось невозможным существовать без кредита. Михею Зотычу тяжело было признаться в последнем, но, очевидно, он сильно зарвался и начинал испытывать первые приступы безденежья.

«Ведь вот какой упрямый старик! — повторял про себя Галактион и только качал головой. — Ведь за глаза было бы одной мельницы, так нет, давай строить две новых!»

Впрочем, это общая черта всех людей, вы-

бившихся из полной неизвестности. Успех лишает известного чувства меры и вызывает ничем не оправдываемую предприимчивость.

Понимая вполне всю сложную психологию отца, Галактион параллельно думал о своих пароходах. Заветная мечта уже близилась к осуществлению. Своих денег у него, конечно, было немного, но обещает помочь Стабровский, когда закончится война с Прохоровым и будет получаться отступное, а затем можно будет прихватить часть в банке, а другую часть кое у кого из знакомых. Конечно, дело было рискованное и слишком смелое, но для чего же тогда и жить? Что значили все эти мельницы, стеариновые заводы, винокуренные дела по сравнению с пароходным делом? Это действительно предприятие, которое оживило бы не одно Зауралье, а всю Западную Сибирь. Вот в Тюмени уже есть два парохода, но владельцы не понимают, какое сокровище у них в руках. Если бы двинуть в Сибирь уральское железо, а оттуда дешевый сибирский хлеб, сало, кожи, разное другое сырье... У Галактиона кружилась голова от этих

мыслей, и он уже слышал шум своего собственного парохода, его несла вперед живая дорога, и он даже закрывал глаза от душевной истомы. Странно, что именно в такие сны наяву он видел себя вместе с Харитиной. Да, она была тут, рядом с ним, и смотрела к нему прямо в душу своими улыбающимися, светлыми глазами. И это была совсем не та Харитина, которую он видел у себя дома, и сам он был не тот, каким его знали все, — о! он еще не начинал жить, а только готовился к чему-то и ради этого неизвестного работал за четверых и отказывал себе во всем. Теперь другие живут, а тогда будет жить он, то есть они с Харитиной.

Подъезжая к Заполью, Вахрушка вдруг приуныл. Он опять вспомнил про «мертвяка», с которым переночевал в холодной.

— Ах, братец ты мой! — ахал старик, встряхивая головой. — Покойник-то к счастью, а все-таки тово... не совсем правильно. Ах ты, братец, и угораздило тебя!

Когда показался вдали город, Вахрушка упал духом. В городе-то все богатые живут, а он с деревенским рылом лезет. Ох, и что толь-

ко будет!

— Пока поживешь у меня, а там увидим, — коротко объяснил Галактион. — Без места не останешься.

— Да уж я, Галактион Михеич... Ах, боже мой!..

Впрочем, солдат скоро успокоился. Их встретила Харитина и как-то особенно просто отнеслась к нему. Она, видимо, поджидала Галактиона и не могла скрыть своей женской радости, которую и обратила на Вахрушку. Кажется, никто так не умел обойтись с человеком, как Харитина, когда она была в духе. Она потащила солдата в кухню и сама принялась угощать его обедом.

— Ешь, солдат, а утро вечера мудренее. Зачем в город-то притащился?

— Ох, барыня, и не спрашивай!.. Такое случилось, такое, — не слушай теплая хоромина.

Рассказ о дешевке смешил Харитину до слез, и она забывала, что смеяться над опившимися до смерти мужиками нехорошо. Ей было как-то безотчетно весело, весело потому, что Вахрушка все время говорил о Галак-

тионе.

— Уж это такой человек, Харитина Харитоновна, такой... Таких-то и не видывано еще. Ума — палата, вот главное... На што тятенька грозен, а и тот ничего не может супротив. Полная неустойка.

— А ты его любишь, Галактиона?

— Все его любят... Уж такой человек уродился. Значит, особенный человек... да. У него все на отличку супротив других. Вон как он Прохорову-то хвост куфтой подвязал.

В тот же день вечером пришел Замараев. Он имел какой-то особенно торжественный вид и, по обыкновению, начал издалека.

— Каково съездили, Галактион Михеич? Слышали мы, как вы воевали с Прохоровым... да-с. Что же, будет, поцарствовали, то есть Прохоров и К *о*. Пора и честь знать. Не те времена, Галактион Михеич, чтобы, напримерно, разиня рот.

После этого вступления Замараев добыл из бокового кармана затасканный номер газеты и передал его Галактиону.

— Вот, почитайте-ка, как вас золотят в газетине, Галактион Михеич. Даже как будто и

свыше меры.

Корреспонденция действительно была хлесткая, на тему о водочной войне и дешевках, причем больше всего доставалось Галактиону. Прослежен был каждый его шаг, все подсчитано и разобрано. Галактион прочел два раза, пожал плечами и равнодушно проговорил:

— Доктор писал.

— Вот в том-то и дело, что совсем не доктор... да-с. А некоторый другой человек... Мы сперва-то тоже на доктора подумали, что подкупил его Прохоров, а потом и оказалось...

Замараев огляделся и сообщил шепотом:

— Греческий язык писал... Милый наш родственник, значит, Харченко. Он на почте заказным письмом отправлял статью, — ну, и вызнали, куда и прочее. И что только человеку нужно? А главное, проклятый хохол всю нашу фамилию осрамил... Добрые люди будут пальцами указывать.

— Ничего, Флегонт Васильич: собака лает — ветер носит.

— Я ходил к нему, к хохлу, и говорил с ним. Как, говорю, вам не совестно тому подоб-

ными делами заниматься? А он смеется и говорит: «Подождите, вот мы свою газету откроем и прижимать вас будем, толстосумов». Это как, по-вашему? А потом он совсем обошел стариков, взял доверенность от Анфусы Гавриловны и хочет в гласные баллотироваться, значит, в думу. Настоящий яд...

— Что же, дело его. Пусть попробует.

— Нет, как он всех обошел... И даже не скрывается, что в газеты пишет. Другой бы посовестился, а он только смеется. Настоящий змей... А тятенька Харитон Артемьич за него же и на всю улицу кричит: «Катай их, подлецов, в хвост и гриву!» Тятенька весьма озлоблены. Даже как будто иногда из разума выступают. Всех ругательски ругают.

Замараев был встревожен и, не встретив сочувствия у Галактиона, даже обиделся. Помилуйте, что же это такое? Этак всякий будет писать. Один напишет, а прочитают-то все. Вон купцы в гостином дворе вслух газеты читают. Соберутся кучей и галдят, как черти над кашей.

Корреспонденция Харченки имела другое неожиданное последствие. Кто-то из обозлен-

ных ею людей послал доктору Кочетову длинное анонимное письмо, в котором излагалась довольно подробно биография Прасковьи Ивановны. В первый момент доктор не придал письму никакого значения, как безыменной клевете, но потом оно его начало беспокоить с новой точки зрения: лично сам он мог наплевать на все эти сплетни, но ведь о них, вероятно, говорит целый город. По безграмотности можно было предположить только одно, именно, что письмо шло из своей купеческой среды. В виде предисловия разбирались отношения Прасковьи Ивановны к ее сладкому братцу, что будто бы послужило причиной мертвого бубновского запоя, затем подробно излагались ее ухаживания за Мышниковым, роман с Галактионом и делались некоторые предположения относительно будущего. Заканчивалось письмо так: «Вот, г. корреспондент, как бывает: в чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. Мы это жалеючи вас говорим, потому как вы законный муж и должны соблюдать свой антирес. Промежду прочим, до свидания, г. корреспондент. Главное, у нас-то вы совсем чужой

и пожалеть вас некому. Мы вам добром за зло платим».

Конечно, все это было глупо, но уж таковы свойства всякой глупости, что от нее никуда не уйдешь. Доктор старался не думать о проклятом письме — и не мог. Оно его мучило, как смертельный грех. Притом иметь дело с открытым врагом совсем не то, что с тайным, да, кроме того, здесь выступали против него целою шайкой. Оставалось выдерживать характер и ломать самую дурацкую комедию.

В первый момент доктор хотел показать письмо жене и потребовать от нее объяснений. Он делал несколько попыток в этом направлении и даже приходил с письмом в руке в комнату жены. Но достаточно было Прасковье Ивановне взглянуть на него, как докторская храбрость разлеталась дымом. Письмо начинало казаться ему возмутительною нелепостью, которой он не имел права беспокоить жену. Впрочем, Прасковья Ивановна сама вывела его из недоумения. Вернувшись как-то из клуба, она вызывающе проговорила:

— Вы получили письмо?

— Какое письмо?

— Ах, идиот!.. Подавайте его сюда!

Доктор с виноватым видом подал заношенный лист почтовой бумаги. Прасковья Ивановна по-писаному разбирала с грехом пополам только магазинные счета и заставила мужа читать вслух.

— Отлично, — проговорила она, когда чтение кончилось. — Как вы полагаете, Анатолий Петрович, порядочному мужу кто-нибудь посмеет написать подобную гадость?

— Да ведь письмо не подписано? Наконец, моя роль в этом деле самая жалкая... Я не могу даже избить этого мерзавца.

— Да? А я вам скажу, кто этот мерзавец.

— Очень интересно.

— Это вы... Да, вы, вы! Не понимаете? Вам все нужно объяснять? Если бы вы не писали своих дурацких корреспонденции, ничего бы подобного не могло быть. Из-за вас теперь мне глаз никуда нельзя показать.

Получился совершенно неожиданный оборот. Прасковья Ивановна проявила отчаянную решимость сейчас же уехать от мужа куда глаза глядят, и доктор умолял ее, стоя на

коленях, остаться, простить его и все забыть. Получилась самая нелепая и жалкая сцена, за которую доктор презирал себя целый месяц. Как это могло случиться? Он опять анализировал свои поступки, каждое душевное движение и чувствовал, что начинает сходить с ума. Мысль о сумасшествии все чаще и чаще приходила ему в голову и наводила на него ужас. Он чувствовал, как стены кабинета начинали его давить, что какое-то страшное ощущение пустоты душит его, что... В отчаянии он хватался за бутылку с мадерой, и все проходило сейчас же.

Ясно было одно, что он боится и ненавидит жену и не может выбиться из-под ее гнета.

В результате этого состояния получилось то, что доктор принялся выслеживать жену. Он тщательно следил, когда она уходит и приходит, где бывает, с каким лицом встречает своих гостей. Дошло до того, что он начал подслушивать из соседней комнаты. Проделывая все это, доктор все больше и больше презирал самого себя. Раз он сделал сцену сладкому братцу Голяшкину, а потом сейчас же попросил у него извинения и, извиняясь,

еще сильнее ненавидел эту сладкую тварь. Ведь письмо говорило прямо об отношениях к нему Прасковьи Ивановны.

Получалось в общем что-то ужасное, глупое и нелепое. В отчаянии доктор бежал к Стабровским, чтобы хоть издали увидеть Устеньку, услышать ее голос, легкую походку, и опять ненавидел себя за эти гимназические выходки. Она — такая чистая, светлая, а он — изношенный, захватанный, как позабытая бутылка с недопитою мадерой.

Глава 42

Деятельность банка все росла. С одной стороны неудержимым потоком приливали вклады, с другой — шел отлив в форме кредита. Скоро определилась во всех подробностях экономическая картина, и каждая торговая фирма была точно взвешена. Известны были все торговые обороты, сумма затраченных капиталов, доходность предприятия и все финансовые возможности, до прогара включительно. В первое время банк допускал кредиты в более широкой форме, а потом начались систематические сокращения. Это была целая система, безжалостная и последовательная.

Люди являлись только в роли каких-то живых цифр. Главные банковские операции сосредоточивались на хлебном деле, и оно было известно банковскому правлению лучше, чем производителям, торговым посредникам и потребителям. Здесь шел в счет и глубокий снег, и весенние дожди, и сухие ветры, и урожай, и недороды в соседних округах, и весь тот круг интересов и злоб, какие сцепились железным кольцом около хлеба. Понижение на копейку в пуде ржи уже отражалось на банковском хозяйстве, как повышение или понижение денежной температуры. В общем банк походил на громадную паутину, в которой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конечно, первыми жертвами делались самые маленькие мушки, погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв, другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неизбежному концу.

По протекции Галактиона Вахрушка занял при банке самый выдающийся пост, пост банковского швейцара. Он теперь стоял в передней, одетый в новенькую синюю ливрею, и с

важностью отворял и затворял банковские двери, кланялся, помогал раздеться, ловко принимал пятиалтынные и двугривенные и еще раз кланялся. Он с необыкновенной быстротой освоился с своим новым положением, точно был создан с специальною целью быть банковским швейцаром. Служба была совсем нетрудная, и Вахрушка старался. Он поднимался ранним утром и с ожесточением чистил все медные ручки, заслонки, вытирал пыль, прибирал, приводил все в порядок и в десять часов утра говорил:

— Ну, теперь наша мельница готова!

У Вахрушки была своя комната рядом с передней, первого числа он получал аккуратно десять рублей жалованья, — одним словом, благополучие полное. Ни о чем подобном старик не смел даже мечтать, и ему начинало казаться, что все это — какой-то радужный сон, фантасмагория, бред наяву. Старик всю жизнь прожил в черном теле, а тут, на старости лет, прикачнулось какое-то безумное счастье. Конечно, причиной и единственным источником этого счастья был Галактион, и Вахрушка относился к нему, как к существу выс-

шей породы. Он выбегал встречать его на крыльцо и по первому взгляду знал вперед, в каком настроении Галактион Михеич Вахрушка изучал это серьезное лицо с строгими глазами, походку, каждое движение и всем любовался. Разве может быть другой такой человек?

— Бога мне, дураку, не замолить за Галактиона Михеича, — повторял Вахрушка, задыхаясь от рабьего усердия. — Что я такое был?.. Никчемный человек, червь, а тетерь... Ведь уродятся же такие человеки, как Галактион Михеич! Глазом глянет — человек и сделался человеком... Ежели бы поп Макар поглядел теперь на меня. Х-ха!.. Ах, какое дело, какое дело!

Вахрушка через прислугу, конечно, знал, что у Галактиона в дому «неладно» и что Серафима Харитоновна пьет запоем, и по-своему жалел его. Этакому-то человеку жить бы да жить надо, а тут дома, как в нетопленой печи. Ах, нехорошо! Вот ежели бы Харитина Харитоновна, так та бы повернула все единым духом. Хороша бабочка, всем взяла, а тоже живет ни к шубе рукав. Дальше Вахрушка

угнетенно вздыхал и отмахивался рукой, точно отгонял муху.

В течение двух месяцев старик вызнал всех своих банковских и всех клиентов и рассортировал их по-своему. Немец Полуштоф тоже умен, только уж очень увертлив, старик Стабровский, конечно, из поляков и гордо себя содержит; Мышников — ловкий барин, сурьезный, и т. д. Зато киргиз Шахма возмущал Вахрушку, и он навеличивал его про себя татарскою образиной. Наконец, молчаливый Драке, двигавшийся как манекен из папье-маше, наводил на Вахрушку какую-то оторопь. Старик испытывал панический страх, когда молчаливый немец деревянным шагом проходил через его переднюю. Пробовал Вахрушка угождать ему всячески — и опять ничего. Немец молчит, как зарезанный.

«И что только у него, у идола, на уме? — в отчаянии думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мыслей. — Все другие люди как люди, даже Шахма, а этот какой-то оммарок... Вот Полуштоф так мимо не пройдет, чтобы словечка не сказать, даром что хромой».

Клиентов банка Вахрушка разделил на несколько категорий: одни — настоящие купцы, оборотистые и важные, другие — пожиже, только вид на себя напущают, а остальные — так, как мякина около зерна. Одна видимость, а начинки-то и нет.

Итак, Вахрушка занимал ответственный пост. Раз утром, когда банковская «мельница» была в полном ходу, в переднюю вошел неизвестный ему человек. Одет он был по-купечеству, но держал себя важно, и Вахрушка сразу понял, что это не из простых чертей, а важная птица. Незнакомец, покряхтывая, поднялся наверх и спросил, где можно видеть Колобова.

— Как прикажете доложить?

— Прохоров.

Этой одной фамилии было достаточно, чтобы весь банк встрепенулся. Приехал сам Прохоров, — это что-нибудь значило. Птица не маленькая и недаром прилетела. Артельщики из кассы, писаря, бухгалтеры — все смотрели на знаменитого винного короля, и все понимали, зачем он явился. Галактион не вышел навстречу, а попросил гостя к себе, в

комнату правления.

— Вы, значит, и член правления? — довольно грубо спросил Прохоров, протягивая руку Галактиону.

— Да... Чем могу служить вам? — деловым тоном ответил Галактион, прищуривая глаза. — Не угодно ли вам присесть...

— Что же, в ногах правды нет, — присядем.

Прохоров еще раз осмотрел комнату, повел плечами и проговорил:

— Это вы тогда приезжали ко мне?

— Да.

— Так-с... гм... Значит, вы же и конкуренцию устраивали мне?

— Я вам не обязан давать отчета, господин Прохоров. Здесь я только член правления.

— Так-с... да...

— Нас несколько членов правления: Штофф, Стабровский, Мышников, Шахма, Драке... Может быть, вы с ними желаете переговорить?

— Так-с... Это все единственно-с. Разговоры-то короткие... да.

— Всего лучше, если вы подадите ваше заявление в банк письменно. Правление его

рассмотрит и даст ответ.

— Так-с... А в сущности все единственно.

Прохоров сознавал собственное унижение, сознавал, что вот этот, неизвестный в коммерческом мире еще три года назад, Колобов торжествует за его счет, и не мог уйти, не покончив дела. Да, нужно было испить чашу до дна. В свою очередь Галактион смотрел на Прохорова такими глазами, точно это был медведь, поднявшийся из далекой родной берлоги и ввалившийся всею тушей в банк. Кстати, он припомнил, что Стабровский предсказал его появление в банке еще после окончания войны в Суслоне, и Галактион тогда мог только подивиться его смелости высказать такое невероятное предположение. Для него лично «конченный» Прохоров имел специальное значение, потому что победой над ним открывалось осуществление его заветной мечты.

Собралось банковское правление. Предстояло обсудить важный вопрос о том, открыть Прохорову кредит под его винокуренные заводы или нет. Он желал получить сумму в триста тысяч. Обсуждали этот вопрос Штофф,

Мышников, Галактион и Драке. Стабровский отказался приехать в заседание под предлогом болезни. Совещавшиеся члены знали вперед, какую они комедию ломают, но вели переговоры с серьезными лицами. В результате получился отказ. Это приятное известие должен был сообщить Драке, как делалось во всех затруднительных случаях.

— Вы хотели получить триста тысяч под ваши заводы? — тянул Драке, глядя на винного короля своими рыбьими глазами.

— Так-с... да.

— Мы этот вопрос обсуждали и нашли, что он неудобоисполним. Вы меня понимаете? Одним словом, мы не можем.

В сущности Прохоров ожидал такого ответа, как человек, бывалый в переделках, и только съежил плечи. Он ничего не ответил немцу, даже не поклонился и вышел.

— Это какая-то разбойничья шайка, — ругался он, когда Вахрушка подавал ему шубу и калоши. — Так-с...

Вечером Галактион поехал к Стабровскому. Старик действительно был не совсем здоров и лежал у себя в кабинете на кушетке, за-

кутав ноги пледом. Около него сидела Устенька и читала вслух какую-то книгу. Стабровский, крепко пожимая Галактиону руку, проговорил всего одно слово.

— Поздравляю... Устенька, вы можете идти к себе.

Девушка поднялась и вышла.

— Да, да, поздравляю, — повторял Стабровский. — У меня был Прохоров, но я его не принял. Ничего, подождет. Его нужно выдержать. Теперь мы будем предписывать условия. Заметьте, что не в наших интересах топить его окончательно, да я и не люблю этого. Зачем? Тем более что я совсем и не желаю заниматься винокуренным делом... Только статья дохода — не больше того. А для него это хороший урок.

Прохоров добился аудиенции у Стабровского только через три дня. К удивлению, он был принят самым любезным образом, так что даже немного смутился. Старый сибирский волк не привык к такому обращению. Результатом этого совещания было состоявшееся, наконец, соглашение: Стабровский закрывал свой завод, а Прохоров ежегодно вы-

плачивал ему отступного семьдесят тысяч.

— Заметьте, что раньше мы могли сойтись на более выгодных для вас условиях, — заметил Стабровский на прощанье. — А затем, я сейчас мог бы предложить вам еще более тяжелые... Но это не в моих правилах, и я никому не желаю зла.

— Так-с... Что уж тут говорить-то. Конечно, темнота наша.

Вечером Стабровский сам приехал к Галактиону.

— Поздравьте: мы все кончили, — весело проговорил он. — Да, все... Хорошо то, что хорошо кончается. А затем, я приехал напомнить вам свое обещание... Я вам открываю кредит в пятьдесят тысяч. Хоть в воду их бросьте. Сам я не могу принять участия в вашем пароходном деле, потому что мой принцип — не разбрасываться. Надеюсь, что мы всегда останемся друзьями.

Заветная мечта Галактиона исполнялась. У него были деньги для начала дела, а там уже все пойдет само собой. Ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею радостью, и такого человека не было. По вечерам жена

была пьяна, и он старался уходить из дому. Сейчас он шагал по своему кабинету и молча переживал охватившее его радостное чувство. Да, целых четыре года работы, чтобы получить простой кредит. Но это было все, самый решительный шаг в его жизни.

Глава 43

Харитина совсем собралась уходить от Галактиона, когда случилось одно событие, которое точно пришло к ней на помощь. Это было незадолго до масленицы. Раз ночью к Галактиону прибежала толстая малыгинская стряпка Аграфена и с причитаниями объявила, что Анфуса Гавриловна умерла.

— Ох, бедовушка головушке! — вопила баба. — Еще с вечера она была ничего, только на сердце жалилась... Скушно, говорит. Давно она сердцем скудалась... Ну, а тут осередь ночи ее и прикончило. Харитон-то Артемьич за дохтуром бегал... кровь отворяли... А она, сердешная, как убитая. И что только будет, господи!..

Старушка умерла от разрыва сердца. Малыгинский дом точно весь застонал. Пока была жива старушка, ее почти не замечали, а те-

перь для всех было ясно как день, что с нею вместе рушился весь дом. И всех лучше понимал это сам Харитон Артемьич, ходивший из комнаты в комнату, как оглушенный.

— Как же это так? — повторял он. — Ведь вчера еще жива была... Наказывала еще осетра пудового купить для солки... икряного... А тут вдруг...

Еще раз в отцовском доме сошлись все сестры. Даже пришла Серафима, не показывавшаяся нигде. Все ходили с опухшими от слез глазами. Сошлись и зятья. Самым деятельным оказался Замараев. Он взял на себя все хлопоты, суетился, бегал и старался изо всех сил.

— Один ты у меня правильный зять, — говорил Харитон Артемьич, забывая старую семейную рознь. — Золото, а не мужик... Покойница Фуса постоянно это говорила, а я перечил ей. Теперь вот и перечить некому будет. Ох, горюшко!.. Ты уж, писарь, постарайся на последях-то.

— Да уж не беспокойтесь, тятенька... Уж для богоданной маменьки готов надвое расколоться. Что же, предел... все там будем.

Рядом с искренним горем выплыли сейчас же и другие чувства. Первые начали следить друг за другом сестры, мысленно делившие между собой маменькино наследство. Запасливая была старушка, всю жизнь копила да берегла, — мало ли наберется в дому маменькина добра. Сундуки ломятся... Прежде всего сестры заподозрили тихоню Агнию, — ведь она в доме оставалась все время и как раз заграбастает самое лучшее. Много ли нужно, чтобы спрятать столовое серебро? Одних серег сколько было у маменьки, пять собольих воротников, бархату на два платья, три не шитых лисьих меха... Конечно, Агния знала, где все лежит, и не упустит случая. Та же Аграфена поможет... За Аграфеной был устроен правильный надзор, как и за Агнией, и сестры дежурили попеременно. Всех схватила самая отчаянная жадность, и каждая думала, что все другие обманут именно ее. Мужья, конечно, были посвящены во все тайны этой бабьей политики, и, нужно отдать им справедливость, все точно сговорились и ни во что не желали вступаться.

— Делайте, как знаете... Не наше это дело.

Явившийся Лиодор усилил смуту. Он приехал совершенно неожиданно ночью. Дежурившая «полуштофова жена» спала. Лиодор взломал в столовой буфет, забрал все столовое серебро и скрылся. Утром произошел настоящий скандал. Сестры готовы были, кажется, разорвать «полуштофову жену», так что за нее вынужден был вступиться сам Харитон Артемьич.

— Да вы никак сбесились, сороки? — зыкнул он на дочерей. — Разе такое теперь время, оглашенные? Серебро жалеете, а мать не жаль... Никому и ничего не дам! Так и знайте... Пусть Лиодор пропивает, — мне ничего не нужно.

Благоразумнее других оказалась Харитина, удерживавшая сестер от открытого скандала. Другие начали ее подозревать, что она заодно с Агнией, да и прежде была любимою тятенькиной дочерью. Затем явилось предположение, что именно она переедет к отцу и заберет в руки все тятенькино хозяйство, а тогда пиши пропало. От Харитины все сбудется... Да и Харитон Артемьич оказывал ей явное предпочтение. Особенно рвала и метала писариха

Анна, соединившаяся на этот случай с «полуштофовой женой».

Из зятьев неотлучно были в доме Харченко и Замараев. Они часто уходили в кабинет учителя, притворяли за собой двери, пили водку и о чем-то подолгу шушукались. Вообще держали себя самым подозрительным образом.

В малыгинском доме перебывал весь город и даже заехал Ечкин. Он повертелся неизвестно зачем, попробовал любезничать с Харитиной и, не встретив сочувствия, исчез.

— Справки наводить приезжал, — сообщил Замараев шепотом Харченке. — Знает, где жареным пахнет. В последнее-то время тятенька на фабрике векселями отдувался, — ну, а тут после богоданной маменьки наследство получит. Это хоть кому любопытно... Всем известно, какой капитал у маменьки в банке лежит. Ох, грехи, грехи!.. Похоронить не дадут честь-честью.

Похороны были устроены самые пышные. Харитон Артемьич ничего не жалел, и ему все казалось, что бедно. Замараев терял голову, как устроить еще пышнее. Кажется, уж

всего достаточно... Поминальный стол на полтораста персон, для нищей братии отведен весь низ и людская, потом милостыня развозилась по всему городу возами.

Наконец, все было кончено. Покойница свезена на кладбище, поминки съедены, милостыня роздана, и в малыгинском доме водворилась мучительная пустота, какая бывает только после покойника. Сестры одна за другой наезжали проведать тятеньку, а Харитон Артемьич затворился у себя в кабинете и никого не желал видеть.

— Это наследство вынюхивают, — объяснял он Замараеву. — Как бы не так!.. Покойница-то все мне оставила по духовной.

— Уж это известно, тятенька. А все-таки оно того... духовную-то надо по закону представить... Закон требует порядка.

— Ты меня учить? Да ты с кем разговариваешь-то, чернильная твоя душа?

— Для вас же говорю, тятенька, чтобы не вышло чего... Духовную-то нужно представить куда следует, а потом опись имущества и всякое прочее.

— Да ты никак с ума спятил?! — закричал

старик. — Ведь Анфуса Гавриловна, чай, была моя жена, — ну, значит, все мое... Я же все заводил. Кажется, хозяин в дому, а ты пристаешь... Вон!

Старик рассвирепел и выгнал писаря. Вот бог наградил зятьями! Другие-то хоть молчат, а этот так в ухо и зудит. И чего пристал с духовной? Ведь сам писал.

Приставанья и темные намеки писаря все-таки встревожили Харитона Артемьича, и он вечерком отправился к старичку нотариусу Меридианову, с которым водил дела. Всю дорогу старик сердился и ругал проклятого писаря. Нотариус был дома и принял гостя в своем рабочем кабинете.

— А я к тебе с секретом, — объяснил Харитон Артемьич, доставая из кармана духовную. — Вот посмотри эту самую бумагу и научи, как с ней быть.

Нотариус оседлал нос очками, придвинул бумагу к самой свече и прочел ее до конца с большим вниманием. Потом он через очки посмотрел на клиента, пожевал сухими губами и опять принялся перечитывать с самого начала. Эта деловая медленность начинала

злить Харитона Артемьича. Ведь вот как эти приказные ломаются над живым человеком! Кажется, взял бы да и стукнул прямо по башке старую канцелярскую крысу. А нотариус сложил по прежнему духовную и, возвращая, проговорил каким-то деревянным голосом:

— Завещание недействительно, Харитон Артемьич.

В первую минуту Малыгин хорошенько даже не понял, в чем дело, а только почувствовал, как вся комната завертелась у него перед глазами.

— Как недействительно?! — вскипел он уже после драматической паузы.

— Очень просто... Недостает одного свидетеля.

— Как недостает? Целых двое подписались.

— В том-то и дело, что двое... По закону нужно троих.

— Врешь... Я сам подписывал духовную у старика Попова, и нас было двое: протопоп да я.

— Совершенно верно: когда подписывает духовную в качестве свидетеля священник,

то совершенно достаточно двух подписей, а без священника нужно три. И ваше завещание имеет сейчас такую же силу, как пустой лист бумаги.

— Не может этого быть, потому как у меня деньги на жену положены были.

— Дело ваше, а духовная все-таки недействительна.

— Значит, все прахом?.. Нет, не может этого быть... Тогда что же мне-то останется?

— По закону вы получите четвертую часть из движимого и восьмую из недвижимого.

— И это только потому, что нет третьего свидетеля?

— Только поэтому. В законе сказано прямо.

— Да ведь жена была моя, и я свой дом записывал на нее и свои деньги положил на ее имя в банк?

— Это все равно. Вы только наследник после нее.

Харитон Артемьич забегал по кабинету, как бешеный. Лицо побагровело, и нотариус даже испугался.

— Успокойтесь, Харитон Артемьич... Бывает и хуже.

— Да ведь это мне зарез... Сам себя зарезал... Голубчик, нельзя ли поправить как-нибудь? Ну, подпишись третьим ты сам.

— Нельзя.

— На коленки встану... не уйду отсюда.

— Ничего не могу.

— Ну, чего тебе стоит? Будь отцом родным... Ведь никто не узнает.

— Не могу... Я присягу принимал.

— А ежели я сам подпишусь третьим?

— Нельзя.

С Малыгиным сделалось дурно, и нотариусу пришлось отпаивать его холодною водой.

— Это меня проклятый писарь подвел! — хрипел старик, страшно ворочая глазами. — Я его разорву на мелкие части, как дохлую кошку!

— Успокойтесь, Харитон Артемьич. Ведь со своими дело будете иметь, а не с чужими.

— Со своими? Вот в том-то и вся моя беда... Свои! Ха-ха!

От нотариуса Малыгин направился прямо в ссудную кассу Замараева. Он ворвался, как ураган, и сгоряча не узнал даже зятя.

— Где разбойник? где погубитель?

— Тятенька, кого вам нужно? — спрашивал Замараев.

— Ах, это ты!.. Тебя нужно!.. Тебя... Задушу своими руками!

— Какие вы слова, тятенька, выражаете... Вот лучше напьемся чайку и потолкуем.

— Чайку? Вот где мне твой чаек... Твоя работа, разбойник! Ты составлял духовную!

— Все по закону, тятенька, и духовная по всей форме.

— А где третий свидетель?

— Это уж было ваше дело, тятенька... Вы подбирали свидетелей.

— Не говори, душегубец!

Старик страшно бунтовал, разбил графин с водой и кончил слезами. Замараев увел его под руку в свой кабинет, усадил на диван и заговорил самым убедительным тоном:

— Тятенька, напрасно вы на меня мораль пущаете... И даже лучше, что так вышло.

— Что-о?!.. Ах, разбойник!

— Нет, вы меня выслушайте... Допустим, что духовная была бы правильно составлена — третий свидетель и прочее... Хорошо... Вы предъявляете духовную, ее утверждают, а

деньги получили бы ваши кредиторы. Ведь у вас векселей, слава богу, выдано достаточно.

— Всего-то тысяч на шестьдесят. Значит, мне осталось бы чистых сорок тысяч да дом.

— Ах, какой вы, тятенька! Тогда бы кредиторы получили сполна все свои шестьдесят тысяч, а теперь они получат всего из капитала богоданной маменьки вашу четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да вашу восьмую часть из дома. Значит, всех-на-всех тридцать тысяч.

— Ну, ну, говори, разбойник!

— Я, тятенька, по закону. Я тут ни при чем. Уж лучше, ежели деньги достанутся родным детям, чем чужим.

— Значит, по закону?

— Точно так-с.

Замараев взял счеты я принялся подводить баланс.

— Вы, тятенька, яко законный супруг своей жены, получите из движимого свою законную четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да из недвижимого свою восьмую законную супружескую часть. Теперь... У вас шесть дочерей и сын. По закону, дочерям из

движимого должна быть выделена законная седьмая часть, и Лиодору достанется тоже седьмая, значит на персону выйдет... выйдет по десяти тысяч семисот четырнадцати рублей двадцати восьми копеек и четыре седьмых-с. Из недвижимого, что останется после вычета вашей восьмой части, дочерям шесть четырнадцатых, значит, близко половины, а три восьмых — Лиодору. Вот и все по закону, тятенька... Я ничего от вас не скрываю. Заметьте, что я ни одной вашей копейки не желаю получать... Анна, как знает, так и пусть делает.

— А ты забыл еще подсчитать, что на всех на вас креста нет... Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!.. Ведь я-то, значит, хуже нищего остался?

— А стеариновая фабрика, тятенька? Это капитал-с...

Глава 44

История с малыгинским наследством сделалась злобой дня для всего Заполья. Пересудам, слухам и комментариям не было конца. Еще ничего подобного в купеческой среде не случалось. Положение Харитона Артемьи-

ча получилось трагикомическое в самой обидной форме. Дело в том, что всем было ясно, как он хотел скрыть капитал от своих кредиторов и как глупо поплатился за это. Сложилась целая легенда о малыгинских дочерях, получивших наследство до последней копеечки при живом отце и пустивших этого отца буквально нищим. Малыгинские зятья вошли в пословицу.

В действительности происходило так. Все зятья, за исключением Пашки Булыгина, не принимали в этом деле никакого участия, предоставив все своим женам. Из сестер ни одна не отказалась от своей части ни в пользу других сестер, ни в пользу отца.

— Все равно у тятеньки опишут кредиторы, — объясняла «полуштофова жена» с обычною авторитетностью. — Вольно ему было засаживать весь свой капитал в фабрику, да еще выдавать векселя... Он только нас разорил.

— Конечно, разорил, — поддакивала писарша Анна. — Теперь близко полуторых сот тысяч в фабрике сидит да из мамынькиных денег туда же ушло близко тридцати, — по

седьмой части каждой досталось бы. Плакали наши денежки... Моих двадцать пять тысяч сожрала проклятая фабрика.

Сестры ужасно волновались и смело говорили теперь все прямо в глаза отцу. Сначала Харитон Артемьич отчаянно ругался, кричал, топал ногами, гнал всех, а потом говорил всего одно слово:

— Прокляну!..

Первыми получать наследство явились Лиодор с Пашкой Булыгиным. Последний действовал по доверенности от жены. Харитон Артемьич едва успел скрыться от них через кухню и в одном халате прибежал к Замараеву. Он совершенно упал духом и плакал, как ребенок.

— Тятенька, успокойтесь, — уговаривал Замараев. — Зачем малодушествовать? Слава богу, у вас еще есть целая фабрика... Проживете получше нас всех.

— Не поминай ты мне про фабрику, разбойник! — стонал старик. — И тебя прокляну... всех! По миру меня пустили, родного отца!

Нападение Лиодора и Булыгина не повто-

рилось. Они удовольствовались получением своих денег из банка и пропали в Кунаре. Дом и остальное движимое подлежало публичной продаже для удовлетворения кредиторов. Разорение получалось полное, так что у Харитона Артемьича не оставалось даже своего угла. Тут уж над ним сжалились дочери и в складчину уплатили следовавшую кредиторам восьмую часть. Отказалась уплатить свою часть только одна писариха Анна.

— Просто не понимаю, что сделалось с женой, — удивлялся Замараев, разводя руками. — Уж я как ее уговаривал: не бери мамынькиных денег. Проживем без них... А разве с бабой сговоришь?

Молва приписывала всю механику малыгинского завещания именно Замараеву, и он всячески старался освободить себя от этого обвинения. Вообще положение малыгинских зятьев было довольно щекотливое, и они не любили, когда речь заходила о наследстве. Все дело они сваливали довольно бессовестно на жен, даже Галактион повторял вместе с другими это оправдание.

— Поговорят да перестанут, — успокаивал

Штофф других.

— Да о чем говорить-то? — возмущался Замараев. — Да я от себя готов заплатить эти десять тысяч... Жили без них и проживем без них, а тут одна мораль. Да и то сказать, много ли мне с женой нужно? Ох, грехи, грехи!..

Харченко отмалчивался. Десять тысяч для него были заветною мечтой, потому что на них он приобретал, наконец, собственный ценз для городского гласного. Галактион тоже избегал разговоров на эту тему. Сначала он был против этого наследства, а потом мысленно присоединил их к тем пятидесяти тысячам, какие давал ему Стабровский. Лишних денег вообще не бывает, а тут они как раз подошли к случаю.

Лучше всех держала себя от начала до конца Харитина. Она даже решила сгоряча, что все деньги отдаст отцу, как только получит их из банка. Но потом на нее напало раздумье. В самом деле, дай их отцу, а потом и поминай, как звали. Все равно десятью тысячами его не спасешь. Думала-думала Харитина и придумала. Она пришла в кабинет к Галактиону и передала все деньги ему.

— Это что? — удивился Галактион.

— А на пароходы... И я тоже хочу кусочек хлеба с маслом.

Галактион молча ее обнял.

— Только ты мне расписку выдай, — деловым тоном говорила она, освобождаясь, — да.

— Для чего же тебе расписка, глупая?

— Как для чего? А не хочу дурой быть... Вот Серафима помрет, ты и женишься на другой. Я все обдумала вперед, и меня не проведешь.

— Ах, глупая, глупая!

Эти Харитинины десять тысяч Галактиону были особенно дороги. Они округляли его капитал до семидесяти тысяч, а там можно со временем дополучить тысяч тридцать из банка. Одним словом, все шло как по маслу, и Галактион не испытывал никаких угрызении совести по отношению к обобранному до нитки тестю. Он про себя негодовал на него: вместо того чтобы травить такие страшные деньги на дурацкую фабрику, отдал бы ему на пароходы... Дело-то повернее во сто раз. Поступок Харитины радовал Галактиона и потому, что он не просил у нее денег, а она сама их отдала. Он даже отложил их отдельно, как

счастливые.

«Умная эта Харитина, — думал Галактион, пересчитывая ее капитал. — И расписку требует».

Харитина действительно была не глупа. Свое отступление из дома Галактиона она затушевала тем, что сначала переехала к отцу. Предлог был налицо: Агния находилась в интересном положении, отец нуждался в утешении.

— Куда ты деньги дела? — допытывался Харитон Артемьич.

— Полуянову послала... Ведь он мне муж, тятенька, а в Сибири-то где ему взять?

— Врешь, все врешь... Все вы врете.

Полуянов как-то совсем исчез из поля зрения всей родни. О нем не говорили и не вспоминали, как о покойнике, от которого рады были избавиться. Харитина время от времени получала от него письма, сначала отвечала на них, а потом перестала даже распечатывать. В ней росло по отношению к нему какое-то особенно злобное чувство. И находясь в ссылке, он все-таки связывал ее по рукам и по ногам.

Жизнь в родительском доме была уже совсем не красна. Харитон Артемьич по временам впадал в какое-то буйное ожесточение, и с ним приходилось отваживаться, как с сумасшедшим. Он проклинал дочерей и зятьев, а весь остальной мир обещал привлечь к суду. Для последнего у него были свои основания. Стеариновый завод работал в убыток и требовал все новых расходов. Шахма денег больше не давал, а у Ечкина их никогда не было. Давила главным образом конкуренция с «казанскою свечой». Харитон Артемьич, как на службу, отправлялся каждый день утром на фабрику, чтобы всласть поругаться с Ечкиным и хоть этим отвести душу. Ечкин выслушивал все совершенно хладнокровно и говорил постоянно одно и то же:

— Вот вы теперь ругаетесь, а потом благодарить будете.

— Отдай мои деньги, ничего знать не хочу!..

Ечкину оставалось только пожимать плечами, точно его просили снять с неба луну. Собственно, он уже давно вышел из своей роли и сидел на фабрике, что совсем было не его

делом. Представлялось два выхода: найти четвертого компаньона или заложить фабрику в банке. Последнее равнялось собственному признанию своей несостоятельности, и Ечкин медлил. В конце зимы он, наконец, подыскал компаньона — это был Евграф Огибенин. Коммерсант последней формации жаждал примазаться к какому-нибудь модному промышленному предприятию и попался на удочку. Ечкин получил с него деньги и сейчас же уехал в Петербург, где по выданной ему доверенности заложил б одном из столичных банков и стеариновую фабрику. В общем эти операции дали ему около полутораста тысяч, и Ечкин как добросовестный человек ровно на эту сумму выслал компаньонам векселей.

Беда не приходит одна, и Малыгин утешался только тем, какого дурака свалял Еграшка-модник, попавший, как кур во щи. Благодаря коварству Ечкина фабрику пришлось совсем остановить. Кредиторы Ечкина в свою очередь поспешили наложить на нее свое запоздавшее veto. Но Харитон Артемьич не терял надежды и решил судиться, со всеми су-

диться — и с Ечкиным, и с Шахмой, и с Огибениным, и с дочерьми.

— Всех в бараний рог согну! — кричал он, расхаживая по своему кабинету в халате. — Я им покажу!..

Лучшее утешение в несчастии, как известно, — чужие несчастия. За этим дело не стало. В великом посту приехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Харитона Артемьича.

— А! пришел посмотреть на голого свата! — встретил его Малыгин, впадая в ожесточенный тон. — Вот полюбуйся... Один халат доченьки оставили из милости.

— Все под богом ходим, Харитон Артемьич, — уклончиво ответил Михей Зотыч, моргая и шамкая. — Господь даде, господь отъя... Ох, не возьмем с собой ничего, миленький! Все это суета.

— Нечего сказать, хороша суета!.. А ты-то зачем приехал к нам? Небойсь в банк хочешь закладываться? Ха-ха... У всех теперь одна мода, а ваши мучники готовы кожу с себя заложить.

— Уж как бог даст... да... — шамкал Коло-

бов. — Оно тово, действительно поджимают нас, очень поджимают... У вас в городе-то лес рубят, а к нам щепки летят.

— Так, так, сватушка. У тебя и рука в банке своя... Галактион-то вызволит.

— Уж это што говорить — заступа... Позавидовал плешивый лысому. По-твоему хочу сделать: разделить сыновей. Хорошие ноне детки. Ох-хо-хо!.. А все суета, Харитон Артемьич... Деток вон мы с тобой судим и рядим, а о своей душе не печалуемся. Только бы мне с своим делом развязаться... В скиты пора уходить. Вот вместе и пойдем.

— Нет, брат, шалишь! Я сперва еще всех на подсудимую скамью запячу! Жив не хочу быть, пока не оборудую этого самого дела!

— Крутенек ты, сватушка, как я погляжу, а на сердитых иоду возят.

— Ничего, авось за собакой камень не пропадет! Я теперь на отчаянность пошел... С голого, что со святого, — взять нечего.

Старики разговорились. Все-таки они были свои и думали одинаково, не то что молодежь. Михей Зотыч все качал своею лысою головой и жаловался на худые дела.

— Ох, плохо будет, сватушка, всем плохо!.. Ведь можно было бы жить, и еще как можно, если бы все не набросились строить мельницы. По Ключевой-то теперь стоном стон стоит... Так и рвут, так и рвут. Что только и будет!..

— Зачем две-то новых мельницы выстроил?

— А затем, сватушка, что три сына у меня. Хотел каждому по меленке оставить, чтобы родителя поминали... Ох, нехорошо!.. Мучники наши в банк закладываются, а мужик весь хлеб на базары свез. По деревням везде ситцы да самовары пошли... Ослабел мужик. А тут водкой еще его накачивают... Все за легким хлебом гонятся да за своим лакомством. Что только и будет!..

— Чему быть-то? Ничего не будет.

— А бог-то? Не потерпит батюшко нашего зверства... Божий дар травим да беса тешим.

Михей Зотыч прожил в Заполье недели две и, по обыкновению, обошел весь город и везде побывал. За десять лет город нельзя было узнать, и старик только качал головой. Все-то по-новому, по-модному, на отличку.

Старинку как метлой вымело. Побывал Михей Зотыч и на новой вальцовой мельнице Луковникова и уже не знал, дивиться ему или нет. Это была уже не мельница, а целая фабрика. Даже жаль делалось, как гоняют хлеб по всем пяти этажам, с жернова на жернов, между валами, по ситам, веялкам и самотаскам. Завернул Михей Зотыч и к Замараеву. Тут дело верное — без обрезков и без моды. Закончились эти путешествия новым банком, где встретил Михея Зотыча старый приятель Вахрушка.

— Здравствуй, чиновник, — говорил Колобов, разглядывая Вахрушкину ливрею. — Шут не шут, а около того.

— Вот и вы на нашу мельницу завернули, Михей Зотыч, — отвечал в гон Вахрушка. — У нас чистая работа.

— Пришел в сапогах, а ушел босиком? На что чище... Вон и ты какое себе рыло наел на легком-то хлебе... да. Что же, оно уж завсегда так: лупи яичко — не сказывай, облупил — не показывай. Ну, чиновник, а ты как думаешь, возьмут меня на вашей мельнице в заклад?

— Как же можно, Михей Зотыч, чтобы вам

не дали под заклад... Всякие народы закладываются, а вам-то на особицу дадут.

— Так, так, миленький... Верно. Когда волк таскал — никто не видал, а когда волка потащили — все увидели.

Глава 45

Заручившись кредитом, Галактион полетел в Тюмень, где у него уже был на примете продававшийся пароход. Правда, что пароход был старой конструкции, вообще дрянной, но тюка и он мог служить. Главное, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. По пути Галактион прихватил и две небольшие баржи. Зимы оставалось немного, и нужно было поспевать. Из Тюмени он проехал на Городище, которое уже давно арендовал у крестьян. План пристани, контор и амбаров был заготовлен раньше, и теперь приходилось только его выполнять. Работа на мысу закипела, как по щучьему веленью. Камень и лес были заготовлены Галактионом еще раньше. Одним словом, все было предусмотрено до последних мелочей.

Ровно через две недели на Городище уже стояла новая пятистенная изба, в которой Га-

лактион и поселился. Тут была и контора, и его квартира, и склад. Никогда еще Галактион не торопился в такой степени и никогда не чувствовал себя так хорошо. Каждый удар топора, раздававшийся на Городище, осуществлял его заветную мечту. Утром он вставал в пять часов, а ложился спать позже всех. С одной стороны, было неудобно, что река Ключевая была судоходна до Заполья только в полую воду, а с другой стороны, это неудобство представляло для Галактиона большие выгоды. Он вот здесь, на Городище, только чувствовал себя дома и был рад, что город далеко. Заполье ему давно надоело, да и не любил он его никогда. А здесь так хорошо. Под рукой были только те люди, которые были нужны, и больше никого. Галактион блаженствовал и смотрел на Тобол с чувством собственности, как на лошадь-новокупку.

В Заполье Галактион приезжал только на несколько часов, когда бывали заседания банковского правления. Здесь он, между прочим, встретился и с отцом.

— Здравствуй, сынок, — остановил его Михей Зотыч. — Аль не узнал родителя?

— Виноват, папаша... Как это вы сюда попали?

— По делу, сынок, по делу... Хочу отведать, как деньги из банка берут.

— Что же вы мне не писали раньше? Я устроил бы все вперед.

— Спасибо, сынок... Не привык я чужими руками жар загребать. Да и тебе-то некогда... Сказывают, пароходы заводишь?

— Завожу, родитель.

— Так, так... А денег где взял?

— Добрые люди дали.

— Люди-то добрые, а чужие денежки зубасты, милый сын... Не по себе дерево гнешь.

— Уж как бог даст, папаша... Я еще молод, в охотку и поработать. Приезжайте, папаша, посмотреть как-нибудь.

— И то приеду, сынок. Место на Городище привольное... Вот только как плавать-то будешь? Мы вон по сухому-то берегу еле бродим.

Галактиона неприятно поразило то, что отец попросил его похлопотать за него в правлении относительно ссуды.

— Папаша, знаете, неудобно просить за

своих... Этого у нас не водится. В банке все равны и нет родственников.

— Спасибо и на этом, сынок.

— Если хотите, я могу поставить свой бланк на ваш вексель — это мне удобнее.

— Нет, спасибо, сынок... Пока бог миловал от векселей.

Встреча с отцом вышла самая неудобная, и Галактион потом пожалел, что ничего не сделал для отца. Он говорил со стариком не как сын, а как член банковского правления, и старик этого не хотел понять. Да и можно бы все устроить, если бы не Мышников, — у Галактиона с последним оставались по прежнему натянутые отношения. Для очищения совести Галактион отправился к Стабровскому, чтобы переговорить с ним на дому. Как на грех, Стабровский куда-то уехал. Галактиона приняла Устенька.

— Вы подождите, Галактион Михеич, — говорила девушка деловым тоном.

Она вообще старалась занимать его, как хозяйка. Пани Стабровская, по обыкновению, не выходила из своей комнаты, Диде что-то нездоровилось, и Устенька заменяла их. Га-

лактион посидел в столовой, выпил стакан чаю и начал прощаться.

— В другой раз как-нибудь заверну, Устенька... Некогда.

Девушка вышла провожать его в переднюю и, оглянувшись, проговорила тем же тоном, как раньше, когда учила его, как держать себя за чайным столом:

— Галактион Михеич, неужели это правда, что рассказывают про старика Малыгина?

— Я, право, в его дела не вмешиваюсь, Устенька.

— Значит, это неправда, что вы взяли деньги у Харитины?

Галактион почувствовал, что вдруг покраснел, как попавшийся школьник.

— А вам для чего это знать, Устенька?

— Да я так... Ах, не делайте этого, Галактион Михеич! Она нехорошая...

Эта сцена не выходила из головы Галактиона всю дорогу, пока он ехал к себе на Городище. Он опять краснел, припоминая умоляющее выражение лица Устеньки. Какая она славная девушка, хотя и говорит о вещах, которых не понимает. Да, значит, уже целый го-

род знает о деньгах Харитины... И откуда только такие вести берутся? Он сам никому не говорил ни одного слова и был уверен, что Харитина тоже никому не проговорилась. Она не болтушка. Вероятно, добрые люди сообразили, что Харитине некуда было девать своего наследства.

«Э, не все ли равно?» — решил Галактион.

Ему было обидно только то, что Устенька назвала Харитину нехорошей. За что? Ведь Харитина никому не сделала зла, кроме самой себя.

Именно под этим впечатлением Галактион подъезжал к своему Городищу. Начинало уже темниться, а в его комнате светился огонь. У крыльца стоял чей-то дорожный экипаж. Галактион быстро взбежал по лестнице на крылечко, прошел темные сени, отворил дверь и остановился на пороге, — в его комнате сидели Михей Зотыч и Харитина за самоваром.

— Ну, принимай дорогих гостей, — проговорил Михей Зотыч. — Незваные-то гости подороже будут званых.

— Я рад, папаша...

— Я и Харитину захватил, — шамкал старик. — Одному-то скучно ехать, а она все равно без дела у тятеньки сидит. Вот и поехали.

Харитина была смущена и смотрела на Галактиона виноватыми глазами. Она чувствовала, что он недоволен ее выходкой, и молчала. Галактион тоже поздоровался с ней молча.

Старик Колобов был как-то необыкновенно весел и все время шутил с Харитиной.

— Ну, что же ты молчишь-то, а еще хозяин? — спрашивал он Галактиона. — Разве гости плохи? Вместе-то нам как раз сто лет, Харитинушка. В самый раз пара.

Вечером старик улегся, по обыкновению, спать рано. Галактион и Харитина сидели в конторе одни.

— Что ты и в самом-то деле надулся, как мышь на крупу? — говорила она.

— Этак я и домой завтра уеду. Соскучилась без тебя, а ты...

— Послушай, я не пойму, как это тебя угораздило вместе с отцом приехать сюда?

— А так... Он приехал прямо за мной, а я села и поехала. Тошнехонько мне, особенно по вечерам. Ты небойсь и не вспомнишь обо

мне.

— Вот немного устроюсь, тогда...

— Что тогда? А знаешь, что я тебе скажу? Вот ты строишь себе дом в Городище, а какой же дом без бабы? И Михей Зотыч то же самое давеча говорил. Ведь у него все загадками да выкомурами, как хочешь понимай. Жалеет тебя...

— Он?

— Да, он... А ты как бы думал? Старик без ума тебя любит. Ты его совсем не знаешь... да. А мне показалось...

Харитина так и не досказала, что ей показалось.

На другое утро Михей Зотыч поднялся чем свет и обошел все работы. Он все осмотрел, что-то прикидывал в уме, шептал и качал головой, а потом, прищурившись, долго смотрел на реку и угнетенно вздыхал.

— Ну что, папаша, как вы нашли мою пристань? — спрашивал Галактион.

— Купец в лавке хвалит товар, сынок, а покупатель дома... Ничего, хорошо... Воду я люблю, а у тебя сразу две реки... По весне-то вот какой разлив будет... да.

— В половодье-то я из Заполья вашу крупчатку повезу в Сибирь, папаша, а осенью сибирскую пшеницу сюда буду поставлять. Работы не оберешься.

— Да, да... Ох, повезешь, сынок!.. А поговорка такая: не мой воз — не моя и песенка. Все хлеб-батюшко, везде хлеб... Все им держатся, а остальное-то так. Только хлеб-то от бога родится, сынок... Дар божий... Как бы ошибки не вышло. Ты вот на машину надеешься, а вдруг нечего будет не только возить, а и есть.

— Вот тогда-то и будет хорошо: где много уродится хлеба, откуда его и повезем. Всем будет хорошо.

— Так, так... То-то нынче добрый народ пошел: все о других заботятся, а себя забывают. Что же, дай бог... Посмотрел я в Заполье на добрых людей... Хорошо. Дома понастроили новые, магазины с зеркальными окнами и все перезаложили в банк. Одни строят, другие деньги на постройку дают — чего лучше? А тут еще: на, испей дешевой водочки... Только вот как с закуской будет? И ты тоже вот добрый у меня уродился: чужого не жалеешь.

— Это уже дело мое, папаша, у вас я, кажет-

ся, еще не просил ничего.

— Не дам, ничего не дам, сынок... Жалеючи тебя, не дам. Ох, грехи от денег-то, и от своих и от чужих! Будешь богатый, так и себя-то забудешь, Галактион. Видал я всяких человеков... ох, много видал! Пожалуй, и смотреть больше ничего не осталось.

Больше всего старик поразил Галактиона своим отношением к Харитине. Она проспала чуть не до десяти часов, и Галактион несколько раз хотел ее разбудить.

— Оставь... Не надо, — удерживал его Михей Зотыч. — Пусть выспится молодым делом. Побранить-то есть кому бабочку, а пожалеть некому. Трудненько молодой жить без призору... Не сладко ей живется. Ох, грехи!..

Харитина поднялась не в духе; она плохо спала ночь.

— Ну, Харитинушка, испей чайку да складывайся в обратный путь, — торопил ее Михей Зотыч. — Загостились мы тут.

Ухаживанья старика привели Харитину в капризное настроение. Она уже больше не смущалась и смотрела на Галактиона вызывающим взглядом.

— Возьми меня, Галактион, в кухарки, — говорила она, усаживаясь в экипаж. — Я умею отличные щи варить.

— И то возьми, Галактион, — поддакивал Михеи Зотыч. — Я буду наезжать ваши щи есть. Так, Харитинушка? Щи — первое дело. Пароходы-то пароходами, а без щей тоже не проживешь.

Галактион стоял все время на крыльце, пока экипаж не скрылся из глаз. Харитина не оглянулась ни разу. Ему сделалось как-то и жутко, и тяжело, и жаль себя. Вся эта поездка с Харитиной у отца была только злою выходкой, как все, что он делал. Старик в глаза смеялся над ним и в глаза дразнил Харитиной. Да, «без щей тоже не проживешь». Это была какая-то бессмысленная и обидная правда.

Целый день Галактион ходил грустный, а вечером, когда зажгли огонь, ему сделалось уж совсем тошно. Вот здесь сидела Харитина, вот на этом диване она спала, — все напоминало ее, до позабытой на окне черепаховой шпильки включительно. Галактион долго пил чай, шагал по комнате и не мог дождаться, когда можно будет лечь спать. Бывают та-

кие проклятые дни.

Когда Галактион, наконец, был уже в постели, послышался запоздалый колокольчик. Галактион никак не мог сообразить, кто бы мог приехать в такую пору. На всякий случай он оделся и вышел на крыльцо. Это была Харитина, она вошла, пошатываясь, как пьяная, молча остановилась и смотрела на Галактиона какими-то безумными глазами.

— Что с тобой? — удивился Галактион. — Идем в комнату.

Харитина долго ничего не могла выговорить и только плакала, закрыв лицо руками.

— Я его бранила всю дорогу... да, — шептала она, глотая слезы. — Я только дорогой догадалась, как он смеялся и надо мной и над тобой. Что ж, пусть смеются, — мне все равно. Мне некуда идти, Галактион. У меня вся душа выболела. Я буду твоей кухаркой, твоей любовницей, только не гони меня.

— Милая, перестань... Поговорим завтра.

Успокоить Харитину было делом нелегким, и Галактион провозился с ней до самого утра, пока она не заснула тут же на диване, не раздеваясь, как приехала.

Глава 46

В доме Стабровских переживалось трудное время.

Диде было уже шестнадцать лет, и наступало то, чего так боялся отец. Врачи просмотрели тот момент, от которого зависело все, и только отцовский взгляд инстинктивно предчувствовал его. Раньше у Диди было два припадка — один в раннем детстве, другой, когда ей было тринадцать лет, то они еще ничего не доказывали. У детей сплошь и рядом бывают «родимчики». Дидю исследовали все знаменитости в Москве, в Петербурге и за границей, и все дали уклончивый ответ: все может быть и ничего может не быть. Такой приговор убивал Стабровского, и он изверился в знаменитостях, прикрывавших своею славой самое скромное незнание. Да и наука по части нервных болезней делала только свои первые шаги. В конце концов Стабровский обратился к своим провинциальным врачам, у которых было и времени больше, и усердия, и свежей наблюдательности. Сам он изобрел только одно средство — поселить в своем доме Устеньку, которая могла заразить здоро-

вьем Дидю. В четыре года действительно Устенька сформировалась в настоящую здоровую девушку, а Дидя только вытянулась и захирела. Для Стабровского «славяночка» являлась живою меркой, и он делал ежедневные параллельные наблюдения. Сначала Дидя шла в умственном развитии далеко впереди, а потом точно начала уставать, и Устенька ее понемногу догнала. Дидя делалась с каждым годом все скрытнее, несообщительнее и имела такой вид, когда человек мучительно хочет что-то припомнить и не может. Она вся точно свертывалась в клубочек, когда чувствовала на себе наблюдавший ее отцовский взгляд.

В последнее время Стабровский начал замечать какие-то странные вспышки, неожиданные и болезненные, какие бывают только у беременных женщин. Он посоветовался с докторами, и те решили, что «девочка формируется». Мисс Дудль разделяла это мнение и с самоуверенностью заявила, что она «выдержит» девочку и больше ничего. Однако случилось нечто неожиданное. В один из таких моментов тренировки в духе доброй англий-

ской школы Дидя вспылила до того, что назвала мисс Дудль старой английской лошадью. Это неслыханное оскорбление привело к тому, что мисс Дудль принялась собирать свои чемоданы. Может быть, этот прием употреблялся слишком часто и потерял свое психологическое значение, может быть, строгая англичанка была сама не права, но Дидя ни за что не хотела извиняться, так что вынужден был вмешаться отец. Он долго и убедительно объяснял дочери значение ее поступка и единственный выход из него — извиниться перед мисс Дудль, но Дидя отрицательно качала головой и только плакала злыми, чисто женскими слезами. Стабровский почуял что-то неладное во всей этой глупой истории и обратился к Кочетову.

— По-моему, девочка ненормальна, Анатолий Петрович.

— Мы все ненормальны. Главное — не нужно к ней приставать, а дать полный покой.

Стабровский кое-как уговорил мисс Дудль остаться, и это послужило только к тому, что Дидя окончательно ее возненавидела и нача-

ла преследовать с ловкостью обезьяны. Изобретательность маленького инквизитора, казалось, не имела границ, и только английское терпение мисс Дудль могло переносить эту домашнюю войну. Дидя травила англичанку на каждом шагу и, наконец, заявила ей в глаза.

— У вас не только нет ума, а даже самого простого самолюбия, мисс Дудль. Я вас презираю. Вы — ничтожное существо, кукла, манекен из папье-маше, гороховое чучело. Я вас ненавижу.

Эта сцена и закончилась припадком, уже настоящим припадком настоящей эпилепсии. Теперь уже не было места ни сомнениям, ни надеждам. Стабровский не плакал, не приходил в отчаяние, как это бывало с ним раньше, а точно весь замер. Прежде всего он пригласил к себе в кабинет Устеньку и объяснил ей все.

— Устенька, вы уже большая девушка и поймете все, что я вам скажу... да. Вы знаете, как я всегда любил вас, — я не отделял вас от своей дочери, но сейчас нам, кажется, придется расстаться. Дело в том, что болезнь Диди до

известной степени заразительна, то есть она может передаться предрасположенному к подобным страданиям субъекту. Я не желаю и не имею права рисковать вашим здоровьем. Скажу откровенно, мне очень тяжело расставаться, но заставляют обстоятельства.

— Вы меня гоните, Болеслав Брониславич, — ответила Устенька. — То есть я не так выразилась. Одним словом, я не желаю сама уходить из дома, где чувствую себя своей. По-моему, я именно сейчас могу быть полезной для Диди, как никто. Она только со мной одной не раздражается, а это самое главное, как говорит доктор. Я хочу хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внимание ко мне. Ведь я всем обязана вам.

Стабровский обнял ее, со слезами поцеловал ее в лоб и проговорил:

— Вполне ценю ваше благородство, славяночка... да, ценю, но не могу согласиться, пока не поговорю с вашим отцом.

— Позвольте мне самой это сделать?

— Как знаете.

В качестве большой, Устенька могла теперь уходить из дому одна и бывала у отца

ежедневно. Когда она объяснила ему, в чем дело, старик задумался.

— Мне кажется, папа, что тут и думать нечего. Как же я оставлю Дидю в таком положении одну? Она так привыкла ко мне, любит меня. Я останусь у Стабровских.

— Вот что скажет доктор, Устенька. Конечно, Стабровские — люди хорошие, но... Одним словом, ты у меня одна — помни это.

Даже старая нянька Матрена, примирившаяся в конце концов с тем, чтобы Устенька жила в ученье у поляков, и та была сейчас за нее. Что же, известно, что барышня Дидя порченая, ну, а только это самые пустяки. Всего-то дела свозить в Кунару, там один старичок юродивый всякую болезнь заговаривает.

Тарас Семеныч скрепя сердце согласился. Ему в первый раз пришло в голову, что ведь Устенька уже большая и до известной степени может иметь свое мнение. Затем у него своих дел было по горло: и с думскою службой и с своею мельницей.

— Как знаешь, Устенька. Ты уж сама не маленькая.

Стабровский очень был обрадован, когда

«слявяночка» явилась обратно, счастливая своим молодым самопожертвованием. Даже Дидя, и та была рада, что Устенька опять будет с ней. Одним словом, все устроилось как нельзя лучше, и «славяночка» еще никогда не чувствовала себя такою счастливой. Да, она уже была нужна, и эта мысль приводила ее в восторг. Затем она так любила всю семью Стабровских, мисс Дудль, всех. В этом именно доме она нашла то, чего ей не могла дать даже отцовская любовь.

В течение четырех лет перед глазами «славяночки» развернулся целый мир, громадный и яркий, перед которым запольская действительность казалась такою ничтожной. Устенька могла уже читать по-французски и по-немецки, понимала по-английски и говорила по-польски. Эти первые шаги ввели ее в сокровищницу мировой литературы, начиная с классиков. Затем она училась музыке, которую страстно любила. Пани Стабровская заставляла ее читать по вечерам на трех языках и объясняла все непонятное. Дидя не любила читать, и ее не принуждали, так что всею обстановкой дорогого воспитания поль-

зовалась собственно одна Устенька. В ее уме все лучшее теперь неразрывно связывалось с теми людьми, с которыми она жила, — в этом доме она родилась вторично. Часто, глядя из окна на улицу, Устенька приходила в ужас от одной мысли, что, не будь Стабровского, она так и осталась бы глупою купеческою дочерью, все интересы которой сосредоточиваются на нарядах и глупых провинциальных удовольствиях. Разве можно так жить, когда на свете так много хорошего? Заполье представлялось ей какою-то ямой. И какие ужасные люди кругом! Через прислугу и разговоры больших Устенька уже знала биографию Прасковьи Ивановны, роман Галактиона с Харитиной и т. д. Городские новости врывались в дом Стабровского, минуя самый строгий контроль мисс Дудль.

Больше всего смущал Устеньку доктор Кочетов, который теперь бывал у Стабровских каждый день; он должен был изо дня в день незаметно следить за Дидей и вести самое подробное curriculum vitae.[51] Доктор обыкновенно приезжал к завтраку, а потом еще вечером. Его визиты имели характер простого

знакомства, и Дидя не должна была подозревать их настоящей цели.

Доктор ежедневно проводил с девочками по нескольку часов, причем, конечно, присутствовала мисс Дудль в качестве аргуса. Доктор пользовался моментом, когда Дидя почему-нибудь не выходила из своей комнаты, и говорил Устеньке ужасные вещи.

— Вы никогда не думали, славяночка, что все окружающее вас есть замаскированная ложь? Да... Чтобы вот вы с Дидей сидели в такой комнате, пользовались тюремным надзором мисс Дудль, наконец моими медицинскими советами, завтраками, пользовались свежим бельем, — одним словом, всем комфортом и удобством так называемого культурного существования, — да, для всего этого нужно было пустить по миру тысячи людей. Чтобы Дидя и вы вели настоящий образ жизни, нужно было сделать тысячи детей нищими.

— Все это неправда. Мы никому не делали зла.

— А как вы полагаете, откуда деньги у Болеслава Брониславича? Сначала он был подрядчиком и морил рабочих, как мух, потом он

начал спаивать мужиков, а сейчас разоряет целый край в обществе всех этих банковских воров. Честных денег нет, славяночка. Я не обвиняю Стабровского: он не лучше и не хуже других. Но не нужно закрывать себе глаза на окружающее нас зло. Хороша и литература, и наука, и музыка, — все это отлично, но мы этим никогда не закроем печальной действительности.

— А вы сами что делаете, доктор?

— И я не лучше других. Это еще не значит, что если я плох, то другие хороши. По крайней мере я сознаю все и мучусь, и даже вот за вас мучусь, когда вы поймете все и поймете, какая ответственная и тяжелая вещь — жизнь.

Эти разговоры доктора и пугали Устеньку и неудержимо тянули к себе, создавая роковую двойственность. Доктор был такой умный и так ясно раскрывал перед ней шаг за шагом изнанку той жизни, которой она жила до сих пор безотчетно. Он не щадил никого — ни себя, ни других. Устеньке было больно все это слышать, и она не могла не слушать.

— С одной стороны хозяйничает шайка

купцов, наживших капиталы всякими неправдами, а с другой стороны будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существование... Конечно, есть такие купцы, как молодой Колобов, — эти создадут свое благосостояние на развалинах чужого разорения. О, он далеко пойдет!

— Что же тогда делать? — спрашивала Устенька в отчаянии.

Доктор только горько улыбался.

— Знаете что, славяночка, не вам это спрашивать у меня и не мне разрешать вам такой всеобъемлющий вопрос. Полагаю, что для каждого должно существовать свое собственное решение этого вопроса. Все дело в совести, в нравственной чистоплотности... Ведь мы всю жизнь заботимся только о том, чтобы вот именно нам было хорошо, а от этого, по-моему, все несчастия. Да, именно от этого... Представьте себе простую картину: вам хочется есть, перед вами хороший завтрак, — разве вы можете его есть с покойною совестью, когда вас окружают десятки голодных девушек, голодных детей? Ведь кусок в горло

не пойдет. Если вы и я едим спокойно свой вкусный завтрак, то только потому, что не видим этих голодных, — они где-то там, далеко, неизвестно где. И мы все делаем, чтобы не видеть их и чтобы, боже сохрани, наши дети не видели их... И каждый наш день — неправда и ложь, а отсюда и наше счастье и наше несчастье — тоже неправда и ложь. Ведь есть еще умственный голод, нравственный голод, душевная нищета, а отсюда дрянные, нехорошие несчастья... Чужое горе по психологическому контрасту обыкновенно вызывает наши симпатии, но есть такое горе, которое вызывает только отвращение. Ах, вы не подозреваете даже, как иногда человек может ненавидеть самого себя!

— Вот вы говорите о завтраке, доктор. Но если я отдам свой завтрак, то, во-первых, сама останусь голодна, а во-вторых, все равно всех не накормлю.

— Это правда, если вы будете одна. А если будут и другие думать о других, тогда получится совсем иное.

Устенька не могла не согласиться с большею половиной того, что говорил доктор, и

самым тяжелым для нее было то, что в ней как-то пошатнулась вера в любимых людей. Получился самый мучительный разлад, заставлявший думать без конца. Зачем доктор говорит одно, а сам делает другое? Зачем Болеслав Брониславич, такой умный, добрый и любящий, кого-то разоряет и помогает другим делать то же? А там, впереди, поднимается что-то такое большое, неизвестное, страшное и неумолимое.

Глава 47

Деятельность Зауральского коммерческого банка отзывалась не только на экономической стороне жизни Заполья, а давала тон всему общественному строю. У нас вообще принято как-то легко смотреть на роль банков, вернее — никак не смотреть. Между тем в действительности это страшная сила, которая кладет свою тяжелую руку на всех. Нарастающий капитализм является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше, именно деньги в организованном виде, как

своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей, а теперь капитал, пройдя через банковское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути.

Живым показателем этой новой силы для Заполья явился банковский юрисконсульт Мышников. Он быстро вошел в свою роль и начал забирать силу. Клиенты без слов почувствовали свою мертвую зависимость от этого нового человека, которому стоило оказать одно слово — и банк закрывал кредит. Мышников уже показал свою власть над протестовавшими элементами и одним почерком пера разорил двух мельников с Ключевой, не оказавших ему должного уважения. Все понимали, что это только проба, цветочки, а ягодки впереди. Остальных клиентов Мышников выучил терпению. Они по целым часам ждали его в банке, теряя дорогое время, выслушивали его грубости и должны были заискивающе улыбаться, когда на душе скребли кошки и накипала самая лютая злоба.

Главное, скверно было то, что Мышников, происходя из купеческого рода, знал все тонкости купеческой складки, и его невозможно было провести, как иногда проводили широкого барина Стабровского или тягучего и мелочного немца Драке. Прежде всего в Мышникове сидел свой брат мужик, у которого была одна политика — давить все и всех, давить из любви к искусству.

Но сфера специально банковской деятельности Мышникова не удовлетворяла. Он хотел большего, а главное — общего почета и заискивающего трепета. Червь тщеславия сосал его неустанно, и ему все было мало. Оперившись благодаря банку, Мышников попал о думу и принялся хозяйничать здесь. Состав думы был купеческий. Доморощенные ораторы говорили плохо, и Мышников сразу сделался светилом. Он во всех мелочах брал перевес, и гласные проходили мудрую школу подлаживанья и спасительного молчания. Всякая самостоятельность давилась в зародыше. Из думских ораторов пробовал бороться с Мышниковым полированный купчик Евграф Огибенин, но сейчас же погиб самым позор-

ным образом: ему был закрыт кредит в банке. Это было хорошим уроком для других смельчаков.

Старик Луковников отлично понимал разыгравшуюся комедию и сознавал полное свое бессилие. Дума быстро превращалась в переднюю Зауральского коммерческого банка. Гласные-купцы тоже сообразили, что нужно только соглашаться с Павлом Степанычем, и заглядывали ему в рот, ожидая решения. Мышников скоро завладел всем городским самоуправлением и делал все, чего желал.

— Что же это такое будет, господа? — в отчаянии говорил Луковников гласным, которым доверял. — Мы делаемся какими-то пешками... Мышников всех нас заберет. Вон он и Драке, и Штоффа, и Галактиона Колобова в гласные проводит... Дохнуть не дадут.

— А что же мы поделаем, Тарас Семеныч? — угнетенно отвечали купцы. — Подневольные мы люди, и больше ничего. Скажи-ко поперечное слово Павлу Степанычу, а он в бараний рог согнет, как Евграфа Огибенина. Жив человек смерти боится.

Луковников понимал, что по-своему куп-

цы правы, и не находил выхода. Пока лично его Мышников не трогал и оказывал ему всякое почтение, но старик ему не верил. «Из молодых да ранний, — думал он про себя. — А все проклятый банк».

Протестом против мышниковской гегемонии явились разрозненные голоса запольской интеллигенции, причем в голове стал учитель греческого языка Харченко, попавший в число гласных еще по доверенности покойной Анфусы Гавриловны. Купцы могли только удивляться, как такой ничтожный учителишко осмеливался перечить самому Павлу Степанычу и даже вот на волос его не боялся. В составе купцов-гласных Харченко являлся чем-то вроде тех проклятых исключений, которыми так богат греческий язык. Свое думское одиночество Харченко выкупал тем, что упорно выводил в целом ряде корреспонденции деятельность банка и несчастной купеческой думы. Как Мышников ни презирал живое слово прессы, но она лишала его известного престижа и время от времени наносила довольно чувствительные удары его самолюбию. Он затаил ненависть против

плюгавого учителишки и дал себе клятву стереть его с лица земли, чтобы другим впредь было неповадно чинить разные противности. Это была неравная борьба, и все смотрели на «греческий язык» с сожалением, как на жертву, которую Мышников в свое время пожрет. Но Харченко уже имел своих союзников, как доктор Кочетов, Огибенин и озлобившийся на всех Харитон Артемьич.

— Катай их всех в хвост и гриву! — кричал Малыгин. — Этаких подлецов надо задавить... Дураки наши купчишки, всякого пня боятся, а тебя ведь грамоте учили. Валяй, «греческий язык»!

Харченко был странный человек и для Заполья совсем непонятный. Из-за чего человек набивался на неприятности? Этого уже решительно никто не мог понять, а сам Харченко никому не говорил. Например, он написал громовую обличительную статью против Мышникова, когда тот в качестве попечителя над городскими школами уволил одну учительницу за непочтительность. Последняя заключалась в том, что учительница недостаточно быстро вскочила, когда в школу прие-

хал Мышников, и не проводила его до передней. Скажите, пожалуйста, стоило поднимать пыль из-за какой-то учительницы, когда сам Павел Степаныч так просто говорит в думе о необходимости народного образования, о пользе грамотности и вообще просвещения. В корреспонденции между тем говорилось прямо, что принципиально высшее образование, конечно, вещь хорошая и крайне желательная, но банковский кулак с высшим образованием — самое печальное знамение времени. «До сих пор мы имели дело просто с кулаками, — сообщал корреспондент, — а кулак интеллигентный — явление, с которым придется считаться».

Мышников с своей стороны не терял времени даром и повел атаку против задорного учителишки. Город давал прогимназии известную субсидию, и на этом основании Мышников попал в попечители прогимназии от города. Это был прямой ход уже на неприятельскую территорию. Забравшись в гимназическое правление, Мышников с опытностью присяжного юриста начал делать целый ряд прижимок Харченке, принимавшему ка-

кое-то участие в хозяйственной части. Повелась травля по всем правилам искусства. В качестве забравшего силу, Мышников обратился к попечителю учебного округа с систематическим рядом замаскированных доносов и добился своего. Именно этой политики Харченко и не выдержал. Он ответил на запрос из округа в «возбужденном тоне» и получил приглашение оставить запольскую прогимназию, с переводом в какое-то отчаянное захолустье.

Мышников торжествовал, сбив врага с позиции. Но это послужило не к его пользе. Харченко быстро оправился от понесенного поражения и даже нашел, что ему выгоднее окончательно бросить зависимую педагогическую деятельность.

— Ну, что же ты будешь делать-то, петух? — язвил его Харитон Артемьич, хлопая по плечу. — Летать умеешь, а где сядешь? Поступай ко мне в помощники... Я тебя сейчас в чин произведу: будешь отставной козы барабанщиком.

— Ничего, папаша, за нами и не это пропадало... Свет не клином сошелся. Все к лучше-

му.

— Уж на что лучше, зятюшка, когда, примерно, выставку по затылку сделают.

— Пустяки, мы еще только начинаем... Вот посмотрите, какой мы фортель устроим... Подтянем всех.

— А ты не пугай!

— Был доктор Панглосс[52], тестюшка, который сказал, что на свете все устраивается к лучшему.

— Так, так... Правильный, значит, доктор.

Харченко действительно быстро устроился по-новому. В нем сказался очень деятельный и практический человек. Во-первых, он открыл внизу малыгинского дома типографию; во-вторых, выхлопотал себе право на издание ежедневной газеты «Запольский курьер» и, в-третьих, основал библиотеку. Редакция газеты и библиотека помещались во втором этаже.

— Да разве я для этого дом-то строил? — возмущался Харитон Артемьич. — Всякую пакость натащил в дом-то... Ох, горе душам нашим!.. За чьи только грехи господь батюшка наказывает... Осрамили меня зятья на старо-

сти лет.

Особенный успех имела библиотека, показавшая, что в глухом провинциальном городке уже чувствовалась настоятельная потребность в чтении. Книга уже являлась необходимостью, и Харченко мечтал открыть книжный магазин. Около типографии и библиотеки сразу сплотился маленький кружок интеллигентных разночинцев. Тут были и учителя, и учительницы, и фельдшера, и мелкие служащие из управы и банка. Библиотека являлась сборным пунктом, куда приходили потолковать и поделиться разными новостями. В общем все эти маленькие люди являлись протестующим элементом против новых дельцов.

Особым выдающимся торжеством явилось открытие первой газеты в Заполье. Главными представителями этого органа явились Харченко и доктор Кочетов. Последний даже не был пьян и поэтому чувствовал себя в грустном настроении. Говорили речи, предлагали тосты и составляли планы похода против плутократов. Харченко расчувствовался и даже прослезился. На торжестве присутствовал

Харитон Артемьич и мог только удивляться, чему люди обрадовались.

— Всех ругать будете в газетине? — спрашивал он.

— Как придется... Смотря по заслугам.

— Нет, вы жарьте их, подлецов, а главное — моих зятьев накаливайте... Ежели бы я был грамотный, так я бы им сам показал, как лягушки скачут. От своей темноты и погибаем.

К огорчению Харитона Артемьича, первый номер «Запольского курьера» вышел без всяких ругательств, а в программе были напечатаны какие-то непонятные слова: о народном хозяйстве, об образовании, о насущных нуждах края, о будущем земстве и т. д. Первый номер все-таки произвел некоторую сенсацию: обругать никого не обругали, но это еще не значило, что не обругают потом. В банке новая газета имела свои последствия. Штофф сунул номер Мышникову и проговорил с укоризной:

— Это твоя работа, Павел Степаныч... Охота тебе была связываться с проклятым учителишкой. Растравил человека, а теперь расхле-

бывай кашу.

— Ничего, не беспокойся, — уверял Мышников. — Коли на то пошло, так мы свою газету откроем... Одним словом, вздор, и не стоит говорить.

В малыгинском доме закипела самая оживленная деятельность. По вечерам собиралась молодежь, поднимался шум, споры и смех. Именно в один из таких моментов попала Устенька в новую библиотеку. Она выбрала книги и хотела уходить, когда из соседней комнаты, где шумели и галдели молодые голоса, показался доктор Кочетов.

— Ах, это вы, Устенька!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Анатолий Петрович.

— Как это мисс Дудль пустила вас одну?

— Я была у папы.

— Так... хотите, я вас познакомлю с нашею компанией? У нас очень весело!

Устенька смутилась, когда попала в накуренную комнату, где около стола сидели неизвестные ей девушки и молодые люди. Доктор отрекомендовал ее и перезнакомил с присутствующими.

— Это ваше молодое Заполье, и вы будете

нашей, Устенька, — говорил он, усаживая ее на диван.

Полчаса, проведенные в накуренной комнате, явились для Устеньки роковою гранью, навсегда отделившею ее от той среды, к которой она принадлежала по рождению и по воспитанию. Возвращаясь домой, она чувствовала себя какою-то изменницей и живо представляла себе негодующую и возмущенную мисс Дудль… Ей хотелось и плакать, и смеяться, и куда-то идти, все вперед, далеко.

Глава 48

Наступила весна. Близившееся тепло уже висело в воздухе. Зима была снежная, и все ждали сильного половодья. Река Ключевая, как все сибирские реки, вскрывалась сначала верховьем. В горах было особенно много снега, и ключевские мельники со страхом ждали полой воды, которая рвала и разносила по веснам их плотины. Но никто так не ждал навигации, как Галактион. Он с половины марта уехал вместе с Харитиной в Тюмень, чтобы принять там пароход и уже на пароходе вернуться в свое Городище. Это был самый решительный момент в его жизни, и

Галактион считал минуты.

В «коренной» России благодаря громадной сети железных дорог давно уже исчезла мертвая зависимость от времен года, а в Сибири эта зависимость сохранялась еще в полной силе. Весной это особенно чувствовалось, когда замирал сибирский тракт, а летнее движение сосредоточивалось на водных путях. Все грузы стягивались за зиму к речным пристаням и здесь ждали открытия навигации. Но последняя выражалась в самых примитивных формах, как дело велось еще при Ермаке, — на барках, дощаниках, плотах. По Оби и Иртышу пароходы делали рейсы раз в неделю. Результаты получались самые жалкие. Сидя в Тюмени, где сосредоточивалась вся навигационная деятельность, Галактион мог только удивляться мертвой сибирской косности. Сибирские капиталы уходили гласным образом на винокуренные заводы, золотопромышленность и разное сибирское сырье, обменивавшееся на московские фабрикаты. Получалась самая жалкая картина, причем главною причиной являлось полное отсутствие правильных путей сообщения, о чем сибиря-

ки заботились меньше всего.

В Тюмени Галактион встретил Ечкина, который хлопотал здесь по каким-то своим делам, — не было, кажется, в России города, где у Ечкина не было бы дел. Он разыскал Галактиона на пристани, где ремонтировался пароход.

— Отлично, отлично, — повторял он, опытным глазом осматривая пароход.

— Собственно говоря, ваша посудина ни к черту не годится, но важен почин... да. Я сам когда-то мечтал открыть пароходство по всем сибирским рекам, но разве у нас найдешь капиталы на разумное дело? Могу только позавидовать вашему успеху.

Галактион был рад Ечкину, как своему человеку. Притом Ечкин знал все на свете и дал сразу несколько полезных советов. Он осмотрел пароход во всех подробностях и только качал головой.

— Ах, уж эта мне сибирская работа! — возмущался он, разглядывая каждую щель. — Не умеют сделать заклепку как следует... Разве это машина? Она у вас будет хрипеть, как удавленник, стучать, ломаться... Тьфу! Посад-

ка велика, ход тяжелый, на поворотах будет сваливать на один бок, против речной струи поползет черепахой, — одним словом, горе луковое.

— Я новый пароход строю, Борис Яковлич. Только раньше осени не поспеет. Машину делают в Перми, а остальные части собирают на заводах.

— Главное, помните, что здесь должен быть особый тип парохода, принимая большую быстроту, чем на Волге и Каме. Корпус должен быть длинный и узкий... Понимаете, что он должен идти щукой... да. К сожалению, наши инженеры ничего не понимают и держатся старинки.

По вечерам Ечкин приходил на квартиру к Галактиону и без конца говорил о своих предприятиях. Харитина сначала к нему не выходила, а потом привыкла. Она за два месяца сильно изменилась, притихла и сделалась такою серьезной, что Ечкин проста ее не узнавал. Куда только делась прежняя дерзость.

— Да, теперь все будет зависеть от железной уральской дороги, когда ее проведут от Перми до Тюмени, — ораторствовал Ечкин. —

Вся картина изменится сразу... Вот случай заодно провести ветвь на Заполье.

— Далеконько будет, — соображал вслух Галактион.

— Э, все пустяки!.. Была бы охота. Я говорил запольским купцам, и слушать не хотят. А я все равно выхлопочу себе концессию на эту ветвь. Тогда посмотрим...

— А где деньги?

— Деньги найдутся. Главное — идея... Понимаете?

Галактиона заражала эта неугомонная энергия Ечкина, и он с удовольствием слушал его целые часы. Для него Ечкин являлся неразрешимою загадкой. Чем человек живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов. Он сам рассказал историю со стеариновым заводом в Заполье.

— Представьте себе, что мои компаньоны распространяют про меня... Я и разорил их и погубил дело, а все заключается только в том, что они не выдержали характера и струсили раньше времени.

— Однако деньги-то за заложенную фабрику вы оставили себе?

— Что же, разве я их не возвращу? Опять недоразумение... И какие деньги, — каких-то несчастных сто тысяч... Меня это в конце концов начинает возмущать серьезно.

Когда Ечкин уходил, Харитина искренне удивлялась.

— Ах, как он врет, как врет!.. До того врет, что даже хочется верить. А потом... какой он бессовестный.

— До того бессовестный, что даже сердиться нельзя? — смеялся Галактион. — А вот я его люблю... В нем есть что-то такое.

Наступила уже вторая половина апреля, а реки все еще не прошли. Наступавшая ростепель была задержана холодным северным ветром. Галактиону казалось, что лед никогда не пройдет, и он с немым отчаянием глядел в окно на скованную реку.

Раз, когда он стоял так у окна, к нему подошла Харитина, обняла его молча и вся точно замерла. Он с удивлением посмотрел на нее.

— Ты забыл про меня, — тихо прошептала она.

Он понял все и рассмеялся. Она ревновала его к пароходу. Да, она хотела владеть им без-

раздельно, деспотически, без мысли о прошедшем и будущем. Она растворялась в одном дне и не хотела думать больше ни о чем. Иногда на нее находило дикое веселье, и Харитина дурачилась, как сумасшедшая. Иногда она молчала по нескольку дней, придиралась ко всем, капризничала и устраивала Галактиону самые невозможные сцены.

— Послушай, да ты... кто ты такая? — кричал на нее взбешенный Галактион. — Даже не жена.

— Хуже, чем жена... Мне часто хочется просто убить тебя. Мертвый-то будешь всегда мой, а живой еще неизвестно.

— Перестань городить глупости.

— А Бубниха?.. Ты думаешь, я ничего не знаю?.. Нет, все, все знаю!.. Впрочем, что же я тебе говорю, и какое мне дело до тебя?

Полосы тихости и покорности сменялись у Харитины, как всегда, самым буйным настроением, и Галактион в эти минуты старался уйти куда-нибудь из дому или не обращать на нее никакого внимания. Ревновала Харитина ко всем и ко всему: к жене, к Ечкину, к пароходу, к Бубнихе, к будущей первой поезд-

ке на пароходе прямо в Заполье. Этот первый рейс засел у нее клином в голове, как личное оскорбление. Ей тоже хотелось ехать туда, и вместе с тем она не решалась, чтобы не компрометировать своим присутствием нового пароходчика. Теперь ведь уж все знали, что она такое, и в Заполье глаз нельзя показать.

Река тронулась ночью, и Харитина проснулась первой. Она в одной ночной кофточке высунулась в форточку и долго всматривалась в весеннюю ночную муть, — слышалось шипенье, мягкий треск и такой звук, точно по сухой траве ползла какая-то громадная змея. Харитине сделалось страшно до слез, и она не разбудила Галактиона. Ей целую ночь казалось, что что-то ползет вот тут, сейчас за стеной, громадное и холодное. Харитина с головой зарылась в подушки и едва заснула только на заре, когда занялось сырое апрельское утро.

Пароход мог отправиться только в конце апреля. Кстати, Харитина назвала его «Первинкой» и любовалась этим именем, как ребенок, придумавший своей новой игрушке название. Отвал был назначен ранним утром,

когда на пристанях собственно публики не было. Так хотел Галактион. Когда пароход уже отвалил и сделал поворот, чтобы идти вверх по реке, к пристани прискакал какой-то господин и отчаянно замахал руками. Это был Ечкин.

— Как вам не стыдно, Галактион Михеич, — пенял он, когда переехал на лодке к пароходу, — уехать и не сказаться?

— Я думал, что вам сейчас не по пути ехать со мной в Заполье, — не без ядовитости заметил Галактион.

— А вот назло вам поеду, и вы должны мной гордиться, как своим первым пассажиром. Кроме того, у меня рука легкая... Хотите, я заплачу вам за проезд? — это будет началом кассы.

— Нет, зачем же?.. Говоря откровенно... я очень вам рад.

Надулась, к удивлению, Харитина и спряталась в каюте. Она живо представила себе самую обидную картину торжественного появления «Первинки» в Заполье, причем с Галактионом будет не она, а Ечкин. Это ее возмущало до слез, и она решила про себя, что

сама поедет в Заполье, а там будь что будет: семь бед — один ответ. Но до поры до времени она сдержалась и ничего не сказала Галактиону. Он-то думает, что она останется в Городище, а она вдруг на «Первинке» вместе с ним приедет в Заполье. Ничего, пусть позлится.

Берега были пустынны и голы. По оврагам еще лежал снег. Игравшие речки несли мутную воду. Попадались время от времени льдины. Галактион почти не сходил с капитанского мостика и молча торжествовал. Он уже любил этот дрянной пароходишко, и подавленный гул работавшей машины, и реку, и пустынные берега, и ненужную суету не обтерпевшейся у нового дела пароходной прислуги. В Тюмени он кстати захватил первый груз, который застрял там из-за распутицы и пролежал бы долго, пока просохнут дороги. Это было доказательство его права на существование.

В Городище действительно разыгралась маленькая семейная сцена. Харитина не захотела даже выйти на берег и на все уговоры только отрицательно качала головой. Галактион махнул рукой.

— Делай, как знаешь, Харитина, но только я этого не желал.

— А что ты такое мне? Ни муж, ни любовник... Оставь!

Плавание по Ключевой было уже другого характера. Приходилось идти с большою осторожностью, чтобы не сесть на мель. Положим, вода была выше межени на целых четыре аршина, но все-таки могли быть разные неожиданности. Галактион нарочно отвалил ранним утром, чтобы быть в Заполье засветло. Да, все должны были видеть его торжество. Его огорчало только поведение Харитины, которая продолжала дуться и, чтобы досадить ему, оказывала Ечкину преувеличенные любезности. Галактион боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку, когда они приедут в Заполье, и следил за ней. Ечкин понял его тревогу и старался успокоить свою даму. Он рассказывал ей самые смешные анекдоты, удивлялся красотам пустынных берегов Ключевой и даже дошел до того, что начал декламировать стихи. Это развеселило Харитину.

— Будет вам, Борис Яковлич. Вы-то из-за чего хлопочете? Ведь я и стихов не понимаю.

А пароход быстро подвигался вперед, оставляя за собой пенившийся широкий след. На берегу попадались мужички, которые долго провожали глазами удивительную машину. В одном месте из маленькой прибрежной деревушки выскочил весь народ, и мальчишки бежали по берегу, напрасно стараясь обогнать пароход. Чувствовалась уже близость города.

Не доезжая верст пяти, «Первинка» чуть не села на мель, речная галька уже шуршала по дну, но опасность благополучно миновала. Вдали виднелись трубы вальцовой мельницы и стеаринового завода, зеленая соборная колокольня и новое здание прогимназии. Галактион сам командовал на капитанском мостике и сильно волновался. Вон из-за мыса выглянуло и предместье. Город отделялся от реки болотом, так что приставать приходилось у пустого берега.

— Ведь вот выбрали место под город, — возмущался Ечкин, глядя на город в кулак. — Неудобнее трудно было придумать.

Несмотря на удаленность города, на берегу уже двигались черные точки, и Галактион

рассмотрел несколько экипажей. Очевидно, Ечкин успел послать из Тюмени телеграмму.

У Галактиона сильно билось сердце, когда «Первинка» начала подходить к пристани, и он скомандовал: «Стоп, машина!» На пристани уже собралась кучка любопытных. Впереди других стоял Стабровский с Устенькой. Они первые вошли на пароход, и Устенька, заалевшись, подала Галактиону букет из живых цветов!

— Это должна была сделать Дидя, — объяснил Стабровский, целуя Галактиона, — но девочка больна.

Харитина видела эту сцену и, не здороваясь ни с кем, вышла на берег и уехала с Ечкиным. Ее душили слезы ревности. Было ясно как день, что Стабровский, когда умрет Серафима, женит Галактиона на этой Устеньке.

Часть V

Глава 49

По пыльному проселку шел совершенно легендарный путник, один из тех, каких описывали с такою охотой наши русские романтики. И рваная шляпенка, и котомка за плечами, и длинная палка в руках, и длинная седая борода, и заветрелое лицо, изборожденное глубокими морщинами, и какая-то подозрительная таинственность во всей фигуре и даже в каждой складке страннического рубища, — все эти признаки настоящего таинственного странника как-то не вязались с веселым выражением его лица. Очевидно, ему было весело, несмотря на страннический посох, котомку, морщины и седую бороду. Даже, вероятно, нашлись бы завистники, которым казалось бы это веселое настроение обидным. Ведь нынче всему завидуют. Этот таинственный странник был не кто иной, как возвращавшийся из ссылки «по милостивому манифесту» знаменитый в летописях Зауралья исправник Илья Фирсыч Полуянов.

Итак, странник шел, испытывая прилив

самой преступной радости. Он возвращался на родину... Недавний изгнанник снова чувствовал себя человеком и в качестве такового замышлял целый ряд предприятий. О, они радовались тогда, когда его судили! Они отреклись от него, они смеялись и торжествовали, а вот он возьмет да и придет. Вот я, милостивые государи и государыни! Вам это не нравится, черт возьми? Да? Вы заживо похоронили Илью Фирсыча Полуянова, а он вот взял да и воскрес. Ха-ха... И он еще вам покажет и всех на свежую воду выведет, — он, Илья Фирсыч Полуянов!

Из «мест не столь отдаленных» Полуянов шел целый месяц, обносился, устал, изнемог и все-таки был счастлив. Дорогой ему приходилось питаться чуть не подаянием. Хорошо, что Сибирь — золотое дно, и «странного» человека везде накормят жальливые сибирские бабы. Впрочем, Полуянов не оставался без работы: писал по кабакам прошения, солдаткам письма и вообще представлял своею особой походную канцелярию.

— Будет день — будет хлеб, — повторял Полуянов, пряча заработанные гроши. — А на

Руси с голоду не умирают.

Сидя где-нибудь в кабаке, Полуянов часто удивлялся: что было бы, если б эти мужланы узнали, кто он такой... д-да. Раз под пьяную руку он даже проболтался, но ему никто не поверил, — это уже было недалеко от Запольского уезда, где полуяновская слава еще жила. Кабацкие мужики хохотали в лицо Полуянову, настоящему Полуянову, который осмелился назвать себя своим собственным именем. Получалась настоящая трагикомедия, и настоящий Полуянов точно раскололся надвое: один Полуянов в прошлом, другой в настоящем, и ничего, ровно ничего, что связывало бы этих двух людей. От первого Полуянова ко второму не было никакого перехода, а так взял да точно оборвался в какую-то пропасть. Роскошный Полуянов превратился в скитальца и нищего, в «подозрительную личность» полицейских протоколов.

Но, несмотря на всю глубину падения, у Полуянова все-таки оставалось имя, известное имя, черт возьми. Конечно, в местах не столь отдаленных его не знали, но, когда он по пути завернул на винокуренный завод

Прохорова и К *о*, получилось совсем другое. Даже «пятачок», как называли Прохорова, расчувствовался:

— Илья Фирсыч, голубчик, да ты ли это?.. Ах, боже мой! Давай, сейчас же переоденься, а то муторно на тебя глядеть.

— Нет, этого не будет, — с гордостью заявил Полуянов. — Прежде у меня был один мундир, а теперь другой... Вот в таком виде и заявлюсь в Заполье... да. Пусть все смотрят и любуются. Еще вопрос, кому стыдно-то будет... Был роскошен, а теперь сир, наг и странен.

Прохоров подумал и согласился, что в этом «мундире», пожалуй, и лучше явиться в Заполье. Конечно, Полуянов был медвежья лапа и драл с живого и мертвого, но и другие-то хороши... Те же, нынешние, еще почище будут, только ни следу, ни дороги после них, — очень уж ловкий народ.

— Ведь отчего погиб? — удивлялся Полуянов, подавленный воспоминаниями своего роскошества. — А? От простого деревенского попа... И из-за чего?.. Уж ежели бы на то пошло и я захотел бы рассказать всю мат-

ку-правду, да разве тут попом Макаром пахнет?

— Да, было дело, Илья Фирсыч... Светленько пожил, нечего сказать.

— Ничего, умел пожить... Пусть-ка другие-то попробуют. И во сне не увидят... да. Размаху не хватит.

— Куда же им, нынешним-то, Илья Фирсыч? Телята залижут.

— У меня, брат, было строго. Еду по уезду, как грозовая пуча идет. Трепет!.. страх!.. землетрясенье!.. Приеду куда-нибудь, взгляну, да что тут говорить! Вот ты и миллионер, а не поймешь, что такое был исправник Полуянов. А попа Макара я все-таки в бараний рог согну.

Полуянов пил одну рюмку водки за другой с жадностью наголодавшегося человека и быстро захмелел. Воспоминания прошлого величия были так живы, что он совсем забыл о скромном настоящем и страшно рассердился, когда Прохоров заметил, что поп Макар, хотя и виноват кругом, но согнуть его в бараний рог все-таки трудно.

— Мне трудно? — орал пьяный Полуя-

нов. — Ха-ха... Нет, я их всех в бараний рог согну!.. Они узнают, что за человек Илья Фирсыч Полуянов! Я... я... я... А впрочем, ежели серьезно разобрать, так и не стоит связываться. Наплевать.

— Вот это ты уж напрасно, Илья Фирсыч. Поп-то Макар сам по себе, а тогда тебя устиг адвокат Мышников. В нем вся причина. Вот ежели бы и его тоже устигнуть, — очень уж большую силу забрал. Можно сказать, весь город в одном суставе держит.

— Что же, можно и Мышникова подтянуть, — великодушно согласился Полуянов. — Даже в лучшем виде.

— Уж так бы это было хорошо, Илья Фирсыч! Другого такого змея и не найти, кажется. Он да еще Галактион Колобов — два сапога пара. Немцы там, жиды да поляки — наплевать, — сегодня здесь насосались и отстали, а эти-то свои и никуда не уйдут. Всю округу корчат, как черти мокрою веревкой. Что дальше, то хуже. Вопль от них идет. Так и режут по живому мясу. Что у нас только делается, Илья Фирсыч! И что обидно: все по закону, — комар носу не подточит.

Полуянов говорил все время о прошлом, а Прохоров о настоящем. Оба слушали только себя, хотя под конец Прохоров и взял перевес. Очень уж мудреные вещи творились в Заполье.

— Ты теперь и не узнаешь города, — с сокрушением сообщил Прохоров. — От старинки-то как есть ничего не осталось. Да и люди совсем другие пошли. Разе где старички еще держатся. А главная причина — все себя богатыми показывают. Из банка так деньги и черпают. Ничего не разберешь: возьмет деньги в банке под вексель, выстроит на них дом и заложит его опять в банке же. И все так. Теперь вот мельники сильно начали захудать. Сперва действительно дело было выгодное, ну, все и накинулись, а теперь друг дружку поедом едят. Помнишь старика Колобова, — так он какую штуку уколол. Выстроил три мельницы, а как начал получать со всех трех убыток, — взял две новые заложил в банке да застраховал, а потом и поджег. Вот какую моду старичонко придумал. А сам Галактион еще почище родителя будет, хотя и по другой части пошел.

Речь о Галактионе заходила уже несколько раз, но Прохоров сейчас же заминался и сводил на другое. Из неловкого положения его вывел сам Полуянов.

— Знаю, знаю все... Харитина-то у него живет, у Галактиона.

— Разное болтают, Илья Фирсыч... Не всякое лыко в строку.

— Перестань зубы заговаривать... Знаю. Рано немножко обрадовалась Харитина Харитоновна. Я не позволю себя срамить... я... я...

На Полуянова напало бешенство. Он страшно ругался, стучал кулаками по столу, а потом неожиданно расплакался.

— В сущности я Харитину и не виню, — плаксиво повторял он, — да. Дело ее молодое, кругом соблазн. Нет, не виню, хотя по-настоящему и следовало бы ее зарезать. Вот до попа Макара я доберусь.

Много новостей узнал Полуянов с первого же раза: о разорении Харитона Артемьича, о ссудной кассе писаря Замараева, о плохих делах старика Луковникова, о новых людях в Заполье, а главное — о банке. В конце концов все сводилось к банку. Какую силу забрал

Мышников — страшно выговорить. Всем городом так и поворачивает. В думе никто пикнуть против него не смеет. Про Стабровского и говорить нечего. Прохоров только вздыхал и чесал в затылке при одном имени Стабровского. Кстати, он рассказал всю историю отчаянной кабацкой войны.

— Теперь плачу дань ему, — признался он. — Что ни год, то семьдесят тысяч выкладывай. Не пито, не едено — дерут... да. Как тебя тогда, Илья Фирсыч, засудили, так все точно вверх ногами перевернулось.

— Ага, вспомнили Полуянова?

— Еще как вспомнили-то. Прежде-то как все у нас было просто. И начальство было простое. Не в укор будь тебе сказано: брал ты, и много брал, а только за дело. А теперь не знаешь, как и подступиться к исправнику: водки не пьет, взяток не берет, в карты не играет. Обморок какой-то.

Полуянов прожил на винокуренном заводе два дня, передохнул и отправился дальше пешком, как пришел.

— Будет, поездил, — говорил он, прощаясь с Прохоровым. — Нахожу, что пехтура весьма

полезна для здоровья.

— Конечно, — соглашался Прохоров. — Уж ежели для здоровья, так на что лучше.

Отойдя с версту, Полуянов оглянулся на завод, плюнул и проговорил всего одно слово:

— Подлец!

Он даже погрозил кулаком всему винокуренному заводу.

Философское настроение оставило Полуянова только в момент, когда он перешел границу «своего» уезда. Даже сердце дрогнуло у отставного исправника при виде знакомых мест, где он царил в течение пятнадцати лет. Да, все это были его владения. Он не мог освободиться от привычного чувства собственности и смотрел кругом глазами хозяина, вернувшегося домой из далекого путешествия. Свой уезд он знал, как свои пять пальцев, и видел все перемены, какие произошли за время его отсутствия. Прежде всего его поразило полное отсутствие запасных скирд, когда-то окружавших деревни. Куда девалось это мужицкое богатство?

В одной деревне Полуянов напустился на мужиков, собравшихся около кабака.

— Где у вас хлеб-то, а?.. Прежде-то с запасом жили, а теперь хоть метлой подмети.

— Да уж оно, видно, так вышло.

— Недород, что ли, был?

— Нет, пока господь миловал от недороду, а так воопче.

— Что «воопче»-то? На винокуренный завод свезли хлеб, канальи, а потом будете ждать недорода? Деньги на вине пропили, да на чаях, да на ситцах?

— А тебе какое дело? Чего ты ругаешься-то, оголтелый?

— А вот такое и дело. Чего старики-то смотрят?

Полуянов принялся так неистово ругаться, что разозлившиеся мужики чуть его не поколотили.

Чем дальше подвигался Полуянов, тем больше находил недостатков и прорух в крестьянском хозяйстве. И земля вспахана кое-как, и посевы плохи, и земля пустует, и скотина затощала. Особенно печальную картину представляли истощенные поля, требовавшие удобрения и не получавшие его, — в этом благодатном краю и знать ничего не хо-

тели о каком-нибудь удобрении. До сих пор спасал аршинный сибирский чернозем. Но ведь всему бывает конец.

— Ах, мерзавцы! — ругался Полуянов, палкой измеряя толщину пропаханного слоя чернозема. — На двух вершках пашут. Что же это такое? Это мазать, а не пахать.

Попадались совсем выродившиеся поля с чахлыми, золотушными всходами, — хлеб точно был подбит молью. Полуянов, наконец, пришел в полное отчаяние и крикнул:

— Голод будет! Настоящий голод!

Он стоял посреди поля один и походил на сумасшедшего. Ему хотелось кого-то обругать, подтянуть, согнуть в бараний рог и вообще «показать».

Глава 50

Появление Полуянова произвело в Заполье известную сенсацию. Он нарочно пришел среди бела дня и медленно шагал по Московской улице, останавливаясь перед новыми домами. Такая остановка была сделана, между прочим, перед зданием Зауральского коммерческого банка.

— Эй, ваше превосходительство, здрав-

ствуй, — крикнул Полуянов появившемуся в дверях подъезда швейцару Вахрушке. — У вас здесь деньги дают?

— Дают.

— Богатым дают, а бедные пусть сами добывают?

— Около того, господин.

— А как это, по-твоему, называется?

— Даже очень просто: ходите почаще мимо.

— Ах вы, прохвосты!.. Постой-ка, мне как будто твое рыло знакомо. Про Илью Фирсыча Полуянова слыхал?

Вахрушка посмотрел на странника и оторопел. Он узнал бывшую грозу и малодушно бежал в свою швейцарскую.

— Ага, не понравилось? — торжествовал Полуянов. — Погодите, вот я доберусь до вас!.. Я вам покажу!

Дальше следовал целый ряд открытий. Женская прогимназия, классическая мужская прогимназия, только что выстроенное здание запольской уездной земской управы, целый ряд новых магазинов с саженными зеркальными окнами и т. д. Полуянов везде останав-

ливался, что-то бормотал и размахивал своею палкой. Окончательно он взбесился, когда увидел вывеску ссудной кассы Замараева.

— Замараев? Фамилия знакомая. Тэ-тэ-тэ!.. Это уж не суслонский ли писарь воссиял? Да, ведь Прохоров рассказывал.

Полуянов отправился в кассу и сразу узнал Замараева, который с важностью читал за своею конторкой свежий номер местной газеты. Он равнодушно посмотрел через газету на странника и грубо спросил:

— Что тебе нужно?

— А ты посмотри на меня хорошенько.

— Много тут вас таких-то, шляющих!

— А ежели я палку свою пришел закладывать? Дорогого стоит палочка. Может, и кожу прикажете с себя снять?

— Ступай, ступай, откуда пришел.

Замараев сделал величественный жест и указал глазами на странника «услужающему». К Полуянову подскочил какой-то взъерошенный субъект и хотел ухватить его за локти сзади.

— Как ты смеешь, рррракалия? — грянул Полуянов.

Газета у Замараева вывалилась из рук сама собой, точно дунуло вихрем. Знакомый голос сразу привел его в сознание. Он выскочил из-за своей конторки и бросился отнимать странника из рук услужающего.

— Илья Фирсыч, голубчик... ах, боже мой!..

— Ага, узнал?.. То-то!

Замараев потащил дорогого гостя наверх, в свои горницы, и растерянно бормотал:

— Не прикажете ли водочки, Илья Фирсыч? Закусочку соорудим. А то чайку можно сообразить. Ах, боже мой! Вот, можно сказать: сурприз. Отец родной... благодетель!

Угощая дорогого гостя, Замараев даже прослезился.

— Господи, что прежде-то было, Илья Фирсыч? — повторял он, качая головой. — Разве это самое кто-нибудь может понять?.. Таких-то и людей больше не осталось. Нынче какой народ пошел: троюродное наплевать — вот и вся музыка. Настоящего-то и нет. Страху никакого, а каждый норовит только себя выше протчих народов оказать. Даже невероятно смотреть.

— Что же, всякому овощу свое время.

Прежде-то и мы бывали нужны, а теперь на вашей улице праздник. Ваш воз, ваша и песенка.

— У волка одна песенка, Илья Фирсыч.

От Замараева Полуянов услышал только повторение того, что уже знал от Прохорова, с небольшими дополнениями и поправками.

— Так, так, — повторял он, качая в такт рассказа головой. — Все по-новому у вас... да. Только ведь палка о двух концах и по закону бывает... дда-а.

— Ох, забыли и про палку и про протчее, Илья Фирсыч!

Выпив две рюмки водки, Полуянов таинственно спросил:

— Ну, а как поживает суслонский поп Макар?

— Ничего, слава богу.

— Что-о? — грянул Полуянов, вскакивая. — Слава богу? Да я... я...

— Ох, обмолвился! Простите на глупом слове, Илья Фирсыч. Еще деревенская-то наша глупость осталась. Не сообразил я. Я сам, признаться сказать, терпеть ненавижу этого самого попа Макара. Самый вредный человек.

— То-то!

— Недавно приезжал он деньги вкладывать, а я не принял. Ей-богу, не принял... Одним словом, вредный поп.

От Замараева Полуянов отправился прямо в малыгинский дом, и здесь его удивление достигло последних границ. На доме висела вывеска: «Редакция и контора ежедневной газеты Запольский курьер».

— Что-о-о? — зарычал Полуянов, не веря собственным глазам. — Газета? в моем участке? Да кто это смел, а? Газета? Ха-ха!

На этот крик в окне показалась голова Харитона Артемьича. Он, очевидно, не узнал зятя и смотрел на него с удивлением, как на сумасшедшего.

— Газета?.. Это ты придумал газету? — крикнул ему Полуянов, размахивая палкой.

— А тебе какое дело, рвань коричневая?

— Мне?.. В моем участке газеты разводить? Да вы тут все сбесились без меня?

— А ты вот покричи, так я тебе и шею накостыляю, — спокойно ответил Харитон Артемьич и для большей убедительности засучил рукава ситцевой рубашки. — Ну-ка, иди сюды.

Распатроню в лучшем виде.

— Да ты с кем говоришь-то, седая борода? — орал Полуянов.

— Нет, ты с кем говоришь? — орал Харитон Артемьич, входя в азарт.

— Газетчик проклятый!.. Прохвост!

Это было уже слишком. Харитон Артемьич ринулся во двор, а со двора на улицу, на ходу подбирая полы развевавшегося халата. Ему ужасно хотелось вздуть ругавшегося бродягу. На крик в окнах нижнего этажа показались улыбавшиеся лица наборщиков, а из верхнего смотрели доктор Кочетов, Устенька и сам «греческий язык».

— Здравствуй, тестюшка, — проговорил Полуянов, протягивая руку. — Попа и в рогоже узнают, а ты родного зятя не узнал...

— Тьфу!.. Да ты откудова взялся-то?

— Где был, там ничего не осталось.

Старики расцеловались тут же на улице, и дальше все пошло уже честь честью. Гость был проведен в комнату Харитона Артемьича, стряпка Аграфена бросилась ставить самовар, поднялась радостная суета, как при покойной Анфусе Гавриловне.

— Ох, горюшко наше объявилось! — причитала Аграфена, раздувая самовар.

— Вот чему не потеряться-то! Кабы голубушка Анфуса-то Гавриловна была жива!

Все мысли и чувства Аграфены сосредоточивались теперь в прошлом, на том блаженном времени, когда была жива «сама» и дом стоял полною чашей. Не стало «самой» — и все пошло прахом. Вон какой зять-то выворотился с поселенья. А все-таки зять, из своего роду-племени тоже не выкинешь. Аграфена являлась живою летописью малыгинской семьи и свято блюла все, что до нее касалось. Появление Полуянова с особенною яркостью подняло все воспоминания, и Аграфена успела, ставя самовар, всплакнуть раз пять.

Весь дом волновался. Наборщики в типографии, служащие в конторе и библиотеке, — все только и говорили о Полуянове. Зачем он пришел оборванцем в Заполье? Что он замышляет? Как к нему отнесутся бывшие закадычные приятели? Что будет делать Харитина Харитоновна? Одним словом, целый ряд самых жгучих вопросов.

А Полуянов сидел в комнате Харитона Ар-

темьича и как ни в чем не бывало пил чай стакан за стаканом.

— Ну, брат, удивил! — говорил Харитон Артемьич, хлопая его по плечу. — Придумать, так не придумать такого патрета... да-а!.. И угораздило тебя, Илья Фирсыч!

— Чему же ты удивляешься? Сам не лучше меня.

— Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со мной сделали зятья!.. Разорвать их всех мало!

— А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем.

— Подтянем?

— Еще как!

— Ты законы-то не забыл, Илья Фирсыч?.. Без тебя-то много новых законов объявилось... земство... библиотека... газета...

— Ну, закон-то один, а это так... Одним словом, подтянем.

— Мне бы, главное, зятьев всех в бараний рог согнуть, а в первую голову проклятого писаря. Он меня подвел с духовной... и ведь как подвел, пес! Вот так же, как ты, все наговаривал: «тятенька... тятенька»... Вот тебе и тя-

тенька!.. И как они меня ловко на обе ноги обули!.. Чисто обделали — все равно, как яичко облупили.

— Ничего, мы доберемся... Скажем, что духовная была подложная.

— Н-но-о?

— Только и всего.

— А в Сибирь нельзя сослать всех зятьев зараз?

— Ну, Сибирь, это другое. Подтянуть можно, а относительно Сибири совсем другой разговор.

Эта беседа с Полуяновым сразу подняла всю энергию Харитона Артемьича. Он бегал по комнате, размахивал руками и дико хохотал. Несколько раз Полуянову приходилось защищаться от его объятий.

— Подтянем, Илья Фирсыч? Ха-ха! Отцом родным будешь. Озолочу... Истинно господь прислал тебя ко мне. Ведь вконец я захудал. Зятья-то на мои денежки живут да радуются, а я в забвенном виде. Они радуются, а мы их по шапке... Ха-ха!.. Есть и на зятьев закон?

— Для всего есть свой закон.

— Отец!.. В ножки поклонюсь!.. А жида Еч-

кина тоже подтянем? и Шахму?

— Этих-то уж совсем просто, Харитон Артемьич. Все дело как на ладони.

— Главное, чтобы все по закону... Катай их законом... И жида, и писаря, и немца Полуштофа, и Галактиона — всех валяй!.. Ты живи у меня, — ну, вместе и будем орудовать.

— Конечно, вместе. Я-то проклятого попа буду добывать... В порошок его изотру!

Старики заперлись в своей комнате и проговорили долго за полночь. В типографии было слышно, как хохотал Харитон Артемьич, и стряпка Аграфена со страхом крестилась.

— Никак рехнулся наш Харитон Артемьич от радости... Ох, владычица скорбящая, помилуй нас!

Все жаждали еще раз посмотреть на Полуянова, но он так и не показался.

На другой день Полуянов проснулся очень рано и отправился к заутрене. Харитон Артемьич едва дождался его, сидя за самоваром.

— Уж я думал, что ты совсем ушел, Илья Фирсыч... Даже испугался.

— Не беспокойся, никуда не уйду... Помолиться богу сходил, с попом поговорил, потом

старика Нагибина встретил.

— Кощей проклятый!

— Потом, иду это по улице, как шарахнется мимо рысак... Чуть-чуть не задавил. Смотрю, Мышников катит.

— Вот, вот... Он у нас раздулся, как клещ в собачьем ухе. Всех зорит.

— Потом встретил Луковникова с дочерью. Старик-то что-то на одну ногу припадает... А дочь совсем большая.

— Тоже плох и Тарас Семеныч. Того гляди, и совсем скапутится. Завяз он с своею вальцовою мельницей.

Харитон Артемьич страшно боялся, чтобы Полуянов не передумал за ночь, — мало ли что говорится под пьяную руку. Но Полуянов понял его тайную мысль и успокоил одним словом:

— Подтянем!

Глава 51

Устенька Луковникова жила сейчас у отца. Она простилась с гостеприимным домом Стабровских еще в прошлом году. Ей очень тяжело было расставаться с этою семьей, но отец быстро старился и скучал без нее. Сцена

прощания вышла самая трогательная, а мисс Дудль убежала к себе в комнату, заперлась на ключ и ни за что не хотела выйти.

— Мы все так сжились с тобой, — говорил Стабровский, обнимая Устеньку.

— Я по крайней мере смотрю на тебя и думаю о тебе, как о родной дочери. Даже как-то странно представить, что вдруг тебя не будет у нас.

— Ведь я по прежнему буду бывать у вас каждый день, Болеслав Брониславич, — точно оправдывалась Устенька. — И потом я столько обязана всем вам... Сейчас, право, даже не сумею всего высказать.

Они просидели целый вечер в кабинете Стабровского. Старик сильно волновался и несколько раз отвертывался к окну, чтобы скрыть слезы.

— Вот уж вы совсем большие, взрослые девушки, — говорил он с грустною нотой в голосе. — Я часто думаю о вас, и мне делается страшно.

— Чего же бояться, папа? — удивлялась Дидя. — Под старость ты делаешься сентиментальным.

— Чего я боюсь? Всего боюсь, детки... Трудно прожить жизнь, особенно русской женщине. Вот я и думаю о вас... что вас будет интересовать в жизни, с какими людьми вы встретитесь... Сейчас мы еще не поймем друг друга.

Стабровский действительно любил Устеньку по-отцовски и сейчас невольно сравнивал ее с Дидей, сухой, выдержанной и насмешливой. У Диди не было сердца, как уверяла мисс Дудль, и Стабровский раньше смеялся над этою институтскою фразой, а теперь невольно должен был с ней согласиться. Взять хоть настоящий случай. Устенька прожила у них в доме почти восемь лет, сроднилась со всеми, и на прощанье у Диди не нашлось ничего ей сказать, кроме насмешки.

— Папа, будем смотреть на вещи прямо, — объясняла она отцу при Устеньке. — Я даже завидую Устеньке... Будет она жить пока у отца, потом приедет с ярмарки купец и возьмет ее замуж. Одна свадьба чего стоит: все будут веселиться, пить, а молодых заставят целоваться.

Устенька густо покраснела и ничего не от-

ветила, а Стабровский вспылил, — это был, кажется, еще первый случай, что он рассердился на свою Дидю.

— Да, она идет к своим, — заговорил он, делая широкий жест. — Это законное стремление. Птенчик оперился, вырос и прибивается к своей стае... А вот ты этого не понимаешь, Дидя, что есть свои и что есть мертвая тяга к общему делу. О, как я это ценю!.. Мы во многом не согласимся с Устенькой, за многое она отнесется ко мне критически, может быть, даже строго осудит, но я понимаю ее теперешнее настроение, хорошее, светлое, доброе... Устенька, я понимаю больше, чем ты думаешь, хотя многого и не могу сейчас высказать. Иди, славяночка, к своим и ничего не бойся... Великая будущность перед русскою женщиной и великая, счастливая работа. Дай я тебя благословлю.

Диде сделалось стыдно за последовавшую после этого разговора сцену. Она не вышла из кабинета только из страха, чтоб окончательно не рассердить расчувствовавшегося старика. Стабровский положил свою руку на голову Устеньки и заговорил сдавленным голосом:

— Славяночка, ты уходишь из этого дома навсегда... Впечатления детства остаются в памяти на всю жизнь, и ты запомни, что отсюда ты вынесла. Здесь тебе говорили: нет ни немцев, ни жидов, ни славян, а есть просто люди, люди хорошие и дурные... Счастье заключается в труде на пользу других. Пока мы можем быть, в лучшем случае, справедливыми и хорошими только у себя в семье, но нельзя любить свою семью, если не любишь других. Мы, старики, прошли тяжелую школу, с нами были несправедливы, и мы были несправедливы, и это нас мучило, делало несчастными и отравляло даже то маленькое счастье, на какое имеет право каждая козявка. Иди, славяночка, к своим, там уже есть много хороших людей. Добрым и честным принадлежит мир. Есть богатые и бедные люди, красивые и некрасивые, старые и молодые, образованные и необразованные, но одно великое равняет всех, это — совесть. Без совести нельзя жить, как без солнечного света... Ведь и любовь тоже совесть, высшая совесть, когда человек делается и лучше, и чище, и справедливее.

«Господи, отец, кажется, сошел с ума! — с ужасом думала Дидя, стараясь смотреть в угол. — Говорит, точно ксендз... Расчувствовался старикашка».

Да, Устенька много хорошего вынесла из этого дома и навсегда сохранила о Стабровском самую хорошую память, хотя представление об этом умном и добром человеке постоянно в ней двоилось.

Вернувшись к отцу, Устенька в течение целого полугода никак не могла привыкнуть к мысли, что она дома. Ей даже казалось, что она больше любит Стабровского, чем родного отца, потому что с первым у нее больше общих интересов, мыслей и стремлений. Старая нянька Матрена страшно обрадовалась, когда Устенька вернулась домой, но сейчас же заметила, что девушка вконец обасурманилась и тоскует о своих поляках.

— Испортили они тебя, Устинья Тарасовна, — повторяла старуха при каждом удобном случае. — Погляжу я на тебя, как тебе скушно дома-то.

Замечал это и сам Тарас Семеныч, хотя и не высказывался прямо. Ничего, помаленьку

привыкнет... Самое главное, что больше всего тяготило Устеньку, это сознание собственной ненужности у себя дома. Она чувствовала себя какою-то гостьей.

— Это скучно, папа, сидеть без дела, — объясняла она отцу.

— Что же я-то могу придумать? Ежели в учительницы идти, так будешь хлеб отбивать у других бедных девушек... Это нехорошо. Уроки давать — то же самое. Поживи, отдохни.

— Ах, какой ты, папа! От чего отдыхать? Это, наконец, смешно!

— Читай книжки.

Устенька много читала, но это еще не было настоящим делом. Впрочем, ее скоро выручили полученные в доме Стабровского знания. Раз она пришла в библиотеку, и доктор Кочетов сразу предложил ей занятия при газете.

— Мы все тут очень слабы по части языков, а ведь вы знаете... Одним словом, вы нам поможете, Устенька. Кажется, вы даже по-английски переводите?

— Я училась, но, право, не знаю, справлюсь ли. Вам что нужно переводить?

— Ах, да!.. Главного-то я и не сказал: нам нужна переводчица для газеты. Понимаете, это известный даже шик — пользоваться материалами из первоисточника, а не из третьих рук.

Благодаря своему знанию языков Устенька попала прямо в центр провинциального оппозиционного издания. С составом редакции благодаря доктору Кочетову она была знакома еще раньше, а теперь сделалась невольною участницей уже самого дела. Это и были те свои, о которых говорил ей на прощанье Стабровский. Да, это действительно были свои, — те свои, которым она принадлежала по инстинкту. Работа в редакции «Запольского курьера» для Устеньки была своего рода воскресением. Сюда стекались «протестующие элементы» с громадной территории, и, как ни была стеснена деятельность маленького провинциального издания, она все-таки сказывалась в общем строе. Конечно, ничего систематического здесь не могло быть, и все дело сводилось на то, чтобы с большею или меньшею ловкостью «воспользоваться моментом», как говорил Харченко. Хитрый хох-

лик сосредоточил все свои боевые силы на преследовании банковских воротил, а главным образом, конечно, Мышникова. Его уже раз пять судили в окружном суде за диффамацию и клевету, и он с торжеством выходил сух из воды.

— А мы опять воспользуемся моментом, — говорил он, возвращаясь из суда в редакцию. — Подождите, господа, смеется последний, а мы еще посмотрим.

В редакции по вечерам собирались разные «протестанты» и обсуждали нараставшие злобы дня. Собственно редакцию составляли Харченко и Кочетов, а остальные только помогали. Здесь Устенька прошла целый курс знаний, которых нельзя получить было нигде больше. Она отлично познакомилась с вопросами городского хозяйства, с задачами земского самоуправления, с экономическою картиной целого края, а главное — с тем разрушающим влиянием, которое вносили с собой банковские дельцы, и в том числе старик Стабровский. Ей часто делалось больно, когда упоминалось это дорогое для нее имя с очень злыми комментариями, — и больно и досад-

но, а нельзя было не согласиться. Получалась самая мучительная раздвоенность.

— Ну, что у вас нового? — спрашивал Тарас Семеныч, когда Устенька возвращалась домой с кипой газет. — Все за мухой с обухом гоняетесь?

Втайне старик очень сочувствовал этой местной газете, хотя открыто этого и не высказывал. Для такой политики было достаточно причин. За дочь Тарас Семеныч искренне радовался, потому что она, наконец, нашла себе занятие и больше не скучала. Теперь и он мог с ней поговорить о разных делах.

— Ты у меня теперь в том роде, как секретарь, — шутил старик, любуясь умною дочерью. — Право... Другие-то бабы ведь ровнешенько ничего не понимают, а тебе до всего дело. Еще вот погоди, с Харченкой на подсудимую скамью попадешь.

— Если б это было нужно, папа, то отчего же не пойти за правое дело?

— Оно, конечно, так, а мы вот все боимся правды-то.

Приглядываясь к новым людям, Устенька долго не могла разобраться в своих впечатле-

ниях и многого не могла понять. Жизнь давала себя знать, разбивая на каждом шагу молодые иллюзии и счастливые верования. По временам Устеньке делалось просто страшно. Боже мой, кругом столько самого бессмысленного и обидного зла! Большинство точно сознательно старалось делать зло даже самим себе. Тут даже не спасало образование. Живым примером являлся доктор Кочетов, который все чаще и чаще приходил в редакцию в ненормальном виде. Первое время он стеснялся Устеньки, а потом махнул рукой.

— Доктор, неужели вы не можете удержаться? — спрашивала его Устенька.

— Ведь есть же сила воли.

— Вам жаль меня?

— Да.

— Не стоит!.. Я сам сначала тоже жалел себя, а потом... Одним словом, не стоит говорить.

Устеньке делалось жутко, когда она чувствовала на себе пристальный взгляд доктора. В этих воспаленных глазах было что-то страшное. Девушка в такие минуты старалась его избегать.

— Барышня, а вы не находите меня сумасшедшим? — спросил ее раз доктор с больною улыбкой. — Будемте откровенны... Я самое худшее уже пережил и смотрю на себя, как на пациента.

— Не знаю, доктор... Вы просто нездоровы.

— Да, да... Нездоров. Ах, если бы вы только видели, какие ужасные ночи я провожу! Засыпаю я только часов в шесть утра и все хожу... Вдруг сделается страшно-страшно, до слез страшно... Хочется куда-то убежать, спрятаться.

В маленьких провинциальных городках тайны не могут существовать. Устенька, несмотря на свое девичье положение, знала многое, чего знать девице и не полагалось. Источником этих закулисных сведений являлась главным образом старая нянька Матрена. Семейное положение доктора Кочетова давно сделалось притчей во языцех. Все знали, как он женился и как Прасковья Ивановна забрала его под башмак. Последнею новостью в докторской биографии было то, что адвокат Мышников сильно ухаживал за Прасковьей Ивановной и ежедневно бывал в буб-

новском доме.

— Раньше-то сама Прасковья Ивановна припадала к нему, — объяснила Матрена с старческою наивностью. — Даже совсем без стыда гонялась... А нынче уж, видно, Мышников погнался за ней. Змей лютый, одним словом... Ох, грехи!

— Няня, не смейте мне ничего говорить о докторе.

— Да ведь весь город говорит. Только в колокола не звонят.

Разгадка мрачного настроения доктора была налицо.

Глава 52

Доктор Кочетов переживал ужасное время. Он дошел до того состояния, когда люди стараются не думать о себе. В нем точно жили несколько человек: один, который существовал для других, когда доктор выходил из дому, другой, когда он бывал в редакции «Запольского курьера», третий, когда он возвращался домой, четвертый, когда он оставался один, пятый, когда наступала ночь, — этот пятый просто мучил его. Мысль о сумасшествии появлялась у доктора уже раньше; он начи-

нал следить за каждою своею мыслью, за каждым словом, за каждым движением, но потом все проходило. Эти припадки мнительности начали повторяться все чаще и принимали все более мучительную форму. Успокоение давала только мадера. В бубновском доме царил какой-то дух мадеры. Доктор пил потихоньку, как это делал покойный Бубнов и как сейчас это делала Прасковья Ивановна.

Окончательным поворотным пунктом в психологии доктора послужило открытие, что Прасковья Ивановна устроилась по-новому. Сначала доктор получил анонимное письмо, раскрывавшее ему глаза на отношения жены к Мышникову, получил и не поверил, приписав его проявлению тайной злобы. Потом получено было второе письмо, третье, четвертое, — тайный враг не дремал и заботился о нем, как самый лучший друг. Невольно доктор начал следить за женой и убедился в том, что тайный корреспондент был прав. Он знал, когда жена уходила на свидание, знал, когда она ждала Мышникова, знал, когда она рассчитывала, что он уйдет из дому, — знал и скрывался. Теперь роли переме-

нились, раньше Прасковья Ивановна ухаживала за Мышниковым, а сейчас наоборот. Дело дошло до того, что всесильный Мышников даже ухаживал за ним. Доктору делалось стыдно за любовников, за себя, за тот позор, который густым облаком покрывал всех. Ведь и сам он не лучше других.

Больше всего пугало доктора то, что его ничто не интересовало. Не все ли равно? Сегодня жена обманывает его, завтра будет он ее обманывать, — только небольшая перемена ролей. Он давно перестал бывать у Стабровских, раззнакомился почти со всеми и никого не желал видеть. Для чего? Оставалась, правда, газета, но и тут дело сводилось на простую инерцию и на отдел привычных движений. Сначала доктор стеснялся приходить в редакцию в ненормальном виде, а потом и это чувство простого физического приличия исчезло. Не все ли равно? Он приходил теперь в редакцию с красными глазами, опухшим лицом и запойным туманом в голове. Что же, пусть все видят, удивляются, презирают, жалеют. В глубине души доктор все-таки не считал себя безнадежным алкоголиком, а

пил так, пока, чтобы на время забыться. Иногда у него являлась спасительная мысль бежать из проклятого Заполья куда глаза глядят, но ведь это последнее средство было всегда в его распоряжении. Его все-таки что-то удерживало, какое-то смутное чувство собственного угла, какого-то неисполненного дела. Что-то такое еще оставалось впереди, неопределенное и смутное.

Одной ночи доктор не мог вспомнить без ужаса. Он выпил вечером целых две бутылки мадеры. Долго ходил он по кабинету, думал вслух, ложился на диван и снова вставал, чтобы шагать по кабинету. Он знал, что не уснет до самого утра. Вдруг, лежа на диване, он почувствовал, как в нем стынет вся кровь и сердце перестает биться. Его охватила ужасная мысль, вернее — ощущение, точно он раздваивался и переставал уже быть самим собой. Да, он это чувствовал всем своим телом, опухшими от пьяной водянки ногами, раздутою печенью. Он больше не был он, доктор Кочетов, а тот, другой, Бубнов, который вот так же лежал на диване, опухший от пьянства и боявшийся каждого шороха. Доктор бо-

ялся пошевелиться, открыть глаза, точно его что придавило. Да, он превратился в Бубнова.

Галлюцинация продолжалась до самого утра, пока в кабинет не вошла горничная. Целый день потом доктор просидел у себя и все время трепетал: вот-вот войдет Прасковья Ивановна. Теперь ему начинало казаться, что в нем уже два Бубнова: один мертвый, а другой умирающий, пьяный, гнилой до корня волос. Он забылся, только приняв усиленную дозу хлоралгидрата. Проснувшись ночью, он услышал, как кто-то хриплым шепотом спросил его:

— Ты здесь?

Это был бубновский голос, и доктор в ужасе спрятал голову под подушку, которая казалась ему Бубновым, мягким, холодным, бесформенным. Вся комната была наполнена этим Бубновым, и он даже принужден был им дышать.

Целых три дня продолжались эти галлюцинации, и доктор освобождался от них, только уходя из дому. Но роковая мысль и тут не оставляла его. Сидя в редакции «Запольского курьера», доктор чувствовал, что он сто-

ит сейчас за дверью и что маленькие частицы его постепенно насыщают воздух. Конечно, другие этого не замечали, потому что были лишены внутреннего зрения и потому что не были Бубновыми. Холодный ужас охватывал доктора, он весь трясся, бледнел и делался страшным.

— Вам дурно, доктор? — спрашивала Устенька, сидевшая за своим столиком с корректурами. — Я принесу воды.

— Ради бога, не двигайтесь, — умолял доктор шепотом.

Ему казалось, что стоило Устеньке подняться, как все мириады частиц Бубнова бросятся на него и он растворится в них, как крупинка соли, брошенная в стакан воды. Эта сцена закончилась глубоким обмороком. Очнувшись, доктор ничего не помнил. И это мучило его еще больше. Он тер себе лоб, умоляюще смотрел на ухаживавшую за ним Устеньку и мучился, как приговоренный к смерти.

Память вернулась только ночью, когда доктор лежал у себя в кабинете и мучился бессонницей.

Так продолжалось изо дня в день, и доктор никому не мог открыть своей тайны, потому что это равнялось смерти. Муки достигали высшей степени, когда он слышал приближавшиеся шаги Прасковьи Ивановны. О, он так же притворялся спящим, как это делал Бубнов, так же затаивал от страха дыхание и немного успокаивался только тогда, когда шаги удалялись и он подкрадывался к заветному шкафику с мадерой и глотал новую дозу отравы с жадностью отчаянного пьяницы.

Когда пришел навестить его старик Кацман, произошла совсем дикая сцена.

— Ну, что, collega, как вы себя чувствуете? — спрашивал Кацман, нюхая пропитанный мадерой воздух.

— Ничего, отлично.

— А дайте-ка ваш пульс.

Эта фраза привела Кочетова в бешенство. Кто смеет трогать его за руку? Он страшно кричал, топал ногами и грозил убить проклятого жида. Старик доктор покачал головой и вышел из комнаты.

Однажды ночью, когда Кочетов шагал по своему кабинету, прибежала какая-то запы-

хавшаяся женщина и Христом богом молила его ехать к больной.

— Ох, у смерти конец, родненький, — причитала она. — Зашлась наша-то барыня... Лежит, глазки закатила... Ох, смертынька!

— Да какая барыня, говори толком?

— А Серафима Харитоновна!

— Какая Серафима Харитоновна?

— Ах ты, господи!.. Ну, которая за Колобовым, за Галактионом Михеичем. Еще пароходы у него.

Доктор давно не практиковал, но тут, по какой-то инерции, согласился и поехал.

В маленьком домике Колобова, где жила Серафима с детьми, шел страшный переполох. Доктора встретила в передней Харитина, бледная, но спокойная.

— Простите, что мы потревожили вас, Анатолий Петрович. С сестрой плохо, а Кацман сам болен.

Проходя мимо двери в столовую, Кочетов увидел Галактиона, который сидел у стола, схватившись за голову.

Больная лежала в спальне на своей кровати, со стиснутыми зубами и закатившимися

глазами. Около нее стояла девочка-подросток и с умоляющим отчаянием посмотрела на доктора.

— Мама умерла... — прошептала она, точно боялась кого разбудить.

Доктор приложил ухо к груди больной. Сердце еще билось, но очень слабо, точно его сжимала какая-то рука. Это была полная картина алкоголизма. Жертва запольской мадеры умирала.

Пущены были в ход холодные компрессы, лед, нашатырный спирт и обтиранья, пока больная не вздохнула и не открыла глаз.

— Принесите сюда мадеры, — шепнул доктор Харитине.

Через минуту в спальню вошел с только что откупоренною бутылкой вина Галактион, налил рюмку и подал больной. Она взглянула на него, отрицательно покачала головой и проговорила слабым голосом:

— Вы, кажется, считаете меня за пьяницу, а я совсем не пью...

Как доктор ни уговаривал ее, больная осталась при своем. Галактион понял, что она стесняется его, и вышел Харитина приподня-

ла больную на подушки, но у нее голова свалилась на сторону.

— Посылайте скорее за священником, — шепнул доктор.

— Да ведь мы староверы... Никого из наших стариков сейчас нет в городе, — с ужасом ответила Харитина, глядя на доктора широко раскрытыми глазами. — Ужели она умрет?.. Спасите ее, доктор... ради всего святого... доктор...

— От паралича сердца спасенья нет.

— Доктор... доктор!..

Но доктор уже шел в столовую с бутылкой в одной руке и с рюмкой в другой. Галактион сидел у стола.

— Идите, проститесь с женой, — сказал доктор, усаживаясь к столу и ставя перед собой бутылку. — Все кончено.

Галактион взглянул на него, раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и выбежал из столовой. Доктор проводил его глазами, улыбнулся и спокойно налил себе рюмку мадеры.

Больная полулежала в подушках и смотрела на всех осмысленным взглядом. Очевидно, она пришла в себя и успокоилась. Галактион

подошел к ней, заглянул в лицо и понял, что все кончено. У него задрожали колени, а перед глазами пошли круги.

— Серафима, благослови детей! — проговорил он сдавленным голосом.

Больная наморщила лоб и тревожно посмотрела кругом, кого-то отыскивая. Галактион понял этот взгляд и подвел дочь Милочку.

— Сережи нет... он уехал в гимназию; благослови Милочку.

Девушка зарыдала, опустилась на колени и припала головой к слабо искавшей ее материнской руке. Губы больной что-то шептали, и она снова закрыла глаза от сделанного усилия. В это время Харитина привела только что поднятую с постели двенадцатилетнюю Катю. Девочка была в одной ночной кофточке и ничего не понимала, что делается. Увидев плакавшую сестру, она тоже зарыдала.

Больная благословила девочку и сделала глазами Харитине знак, чтоб увели детей. Когда Харитина вернулась, она посмотрела на нее, потом на Галактиона и проговорила с удивительною твердостью:

— Пожалейте детей... я... я не буду никому

больше мешать.

Харитина всхлипывала и, припав головой к изголовью умиравшей, шептала:

— Сима, прости... Сима... Сима...

Галактион стоял и не чувствовал, как у него катились по лицу слезы. Харитина подвела его к постели и заставила стать на колени.

— Сима... я... меня... — бормотал Галактион, точно каждое слово приросло к горлу и он должен был его отдирать. — Нет нам прощенья, Сима... я... меня...

Умирающая уже закрыла глаза. Грудь тяжело поднималась. Послышались мертвые хрипы. В горле что-то клокотало и переливалось.

— Матушка ты наша... касатушка, — причитала около кровати точно из-под земли выросшая Аграфена. — Голубушка барышня...

В дверях стоял Харитон Артемьич. Он прибежал из дому в одном халате. Седые волосы были всклокочены, и старик имел страшный вид. Он подошел к кровати и молча начал крестить «отходившую». Хрипы делались меньше, клокотанье остановилось. В дверях

показались перепуганные детские лица. Аграфена продолжала причитать, обхватив холодевшие ноги покойницы.

— Матушка ты наша, барышня... на кого ты час, сироток, оставляешь?

Доктор продолжал сидеть в столовой, пил мадеру рюмку за рюмкой и совсем забыл, что ему здесь больше нечего делать и что пора уходить домой. Его удивляло, что столовая делалась то меньше, то больше, что буфет делал напрасные попытки твердо стоять на месте, что потолок то уходил кверху, то спускался к самой его голове. Он очнулся, только когда к нему на плечо легла чья-то тяжелая рука и сердитый женский голос проговорил:

— Ты это што за моду придумал лакать винище в этакой-то час, бесстыжие твои глаза? Ступай домой, горький...

Это была Аграфена. Она в следующий момент взяла доктора под руку и повела из столовой. Он попробовал сопротивляться, но, посмотрев на бутылку, увидел, что она пуста, и только махнул рукой.

— Finita la commedia... Да, горький... именно... Галактион обманывал свою жену, а она

умерла... и Прасковью Ивановну тоже обманывал, а она жива... Не правда ли, как это странно?

Глава 53

Смерть жены для Галактиона являлась только продолжением разных других неудач. Ему вообще не везло в последнее время. На Иртыше затонула баржа с незастрахованным чужим товаром, пароход «Первинка» напоролся на подводный камень и целое лето простоял без работы, было несколько запоздавших грузов, за которые пришлось платить неустойку, — одним словом, одна неудача за другой. В банке положение Галактиона тоже пошатнулось. Забравший силу Мышников пробовал на нем свое влияние. Даже старик Стабровский, покровительствовавший Галактиону до сих пор, заметно охладел к нему без всякой видимой причины. Последнее особенно беспокоило Галактиона, хотя он крепился и никому ничего не высказывал. Все складывалось против него как раз с того момента, когда он сошелся с Харитиной. В этом было что-то роковое... Впрочем, сама Харитина давно это заметила и тоже мучилась.

— Это я тебе принесла несчастье, — повторяла она, глядя на Галактиона виноватыми глазами.

Последнее его бесило каждый раз. Да и прежней Харитины, веселой, сумасбродной, красивой русалочьею красотой, уже не было, — может быть, она изменилась, может быть, постарела, а может быть, просто он привык к ней. О ее красоте он мог теперь судить только по тому впечатлению, какое она производила на других. Но его злило и это, когда эти другие любовались Харитиной, точно и в этом был какой-то скрытый обман. Особенно не шло к Харитине, когда она делалась печальной, начинала жаловаться и вообще хныкала. Галактион возмущался, говорил ей дерзости, доводил до слез, а потом начинал жалеть молча, не имея сил проявить свою жалость активно.

Теперь все служило поводом к домашним сцепам, недоразумениям и настоящим ссорам. Обыкновенно начинал Галактион, которого одинаково возмущало, если Харитина раздражалась или оставалась хладнокровной. Он успокаивался только тогда, когда Ха-

ритина выходила из себя и начинала рвать и метать. Несколько раз она бросалась на него прямо с ножом. Галактион не сомневался, что она в таком состоянии может зарезать кого угодно. Но именно такое бешенство его удовлетворяло, снимая с души какую-то тяжесть. Как ни был несправедлив Галактион к Харитине, но одного достоинства он не мог не признать за ней: ни один посторонний глаз не видел ее слез, никто не слыхал ее жалоб. Она для других была только в хорошем или дурном настроении, что еще не давало повода делать какие-нибудь предположения об ее интимной жизни.

В сущности Харитина была глубоко несчастна, потому что продолжала любить Галактиона, и любила его тем сильнее, чем больше он охладевал к ней. Есть такие натуры, чувства которых требуют препятствий, особенно такое чувство, как любовь. Если бы Галактион любил ее по прежнему, Харитина, наверное, не отвечала бы ему тою же монетой, а теперь она боялась даже проявить свою любовь в полной мере и точно прятала ее, как прячут от солнца нежное растение. В то

же время она отлично понимала, что такое Галактион и что любить его не стоит. Ведь он всю жизнь думал только о себе и своих планах, а женщины для него являлись только печальною необходимостью. В сущности он никого и не в состоянии любить, как все эгоисты. И все-таки, зная все это, Харитина радостно вся вздрагивала, когда он входил в комнату. О, она так ждала его каждый раз, точно он приходил к ней прощаться навсегда! Да, ждала и ненавидела себя именно за это, как ненавидит каторжник свои цепи.

Последнею каплей в этой чаше испытаний для Харитины было появление в Заполье мужа. Галактион приехал из города в Городище и заявил с злорадством:

— Твой Илья Фирсыч приехал, то есть пришел пешком... В полной форме: и котомка и палочка. Только недостает кошеля...

— Какой же он мой? — тихо ответила Харитина, боясь обидеться.

— А чей же? Конечно, твой... Вот он придет к нам в гости и попросит хлебца, как бродяжка.

Харитина молчала. Ее возмущал до глуби-

ны самый тон, каким говорил с ней Галактион. Точно это она желала, чтобы Полуянов вернулся из ссылки.

— Да, твой, твой, твой! — уже кричал Галактион, впадая в бешенство. — Ведь ты сама его выбрала в мужья, никто тебя не неволил, и выходит, что твой... Ты его целовала, ты... ты... ты...

Он задыхался от ярости, сжимал кулаки и, кажется, готов был броситься на Харитину и убить ее одним ударом. О, как он ревновал ее к ее прошлому, как ненавидел ее и с радостью растоптал бы ее, как топчут змею!

— Зачем же он придет к нам? — заметила Харитина.

— Зачем? Придет за своею законною женой. Он в своем полном праве. Ты забыла, чья ты жена.

Харитина молчала, что уже окончательно взбесило Галактиона. Он схватил ее за руку и крикнул задыхавшимся голосом:

— Ведь ты... ты любила его... да! Ты его целовала, и он...

Закончилась эта дикая сцена тем, что Галактион избил Харитину, зверски избил, как

бьют своих жен только пьяные мужики, а потом взял и запер в комнате, точно боялся, что она убежит и будет жаловаться на него. Это был ужасный момент. Харитина целый день просидела в темном углу, как затравленный зверь, и вся дрожала, когда слышались чьи-нибудь шаги. Ей казалось, что Галактион вернется и убьет ее. О, как она была бы рада умереть, заснуть, найти вечный покой, когда ничто не будет тревожить, волновать и мучить! Это была смертная жажда покоя. Харитина не плакала, а сидела молча, уничтоженная, жалкая, несчастная.

— За что? — повторяла она про себя, закрывая глаза. — Господи, за что?

Из всех чувств оставалось только физическое чувство страха, то чувство, которое заставляет собаку лизать только что наказавшую ее руку.

Галактион бил ее уже не в первый раз, но тогда было другое. Опомнившись, Харитина пришла к тому заключению, что ей даже некуда деваться. Ни близких знакомых, ни друзей, ни родных — никого. С сестрами она совсем не виделась, да и не любила никого.

Значит, оставалось опять жить с Галактионом и терпеть новые побои, — она сознавала, что нынешний день только начало еще худших дней. Что же делать? Броситься в воду? А он будет радоваться, что избавился от обузы... да. Потом женится... В сердце Харитины закипела дикая ненависть именно к этой другой, а в воображении пронеслась страшная картина убитого Галактиона, любя убитого, вперед оплаканного и еще более дорогого. Одна земля будет разлучницей. Харитина старалась не думать об этом, даже принималась со страха молиться, а в голове стояла одна мысль, эта же мысль наполняла всю комнату и, как ночная птица, билась с трепетом в окно.

Теперь из-за Полуянова начали повторяться постоянные истории. Галактион не только не чувствовал угрызений совести, но выискивал всевозможные случаи, чтобы придраться к Харитине. Смерть жены на время прекратила это ожесточенное настроение, и Галактион точно отмяк. На первый план выступили теперь сироты-дети. Нужно было их куда-нибудь пристроить. Со смертью матери-пьяницы рушился последний призрак своего дома.

Харитина боялась предложить взять их к себе в Городище. Она потихоньку от Галактиона написала Агнии, умоляя ее всеми святыми не оставлять сирот. Агния очень ловко повела дело и уговорила Галактиона. У нее было уже двое своих детей.

— Мне ведь все равно с ребятами-то сидеть, — убеждала она. — Заодно уж хлопотать... Да и твои большие совсем.

Галактион долго не соглашался, хотя и не знал, что делать с детьми. Агния убедила его тем, что дети будут жить у дедушки, а не в чужом доме. Это доказательство хоть на что-нибудь походило, и он согласился. С Харченком он держал себя, как посторонний человек, и делал вид, что ничего не знает об его обличительных корреспонденциях.

Все-таки, когда Галактион перевез детей к дедушке, его охватило мучительное чувство пустоты. Что-то такое порвалось, чего уж нельзя было соединить никакими силами. И обидно и грустно. Сколько раз Галактион раньше думал о том, как было бы хорошо, если бы Серафима умерла. И сама не мучилась бы и ему развязала бы руки. Вот теперь ее

нет, и нет свободы. Мысль о детях стала являться все чаще в чаще, заставляя проверять себя. Конечно, Галактион давал на их содержание много денег, но это было еще не все. Именно дети вставали теперь перед его глазами живым упреком, напоминая все несправедливости прошлого. Под давлением этой мысли он даже к Харитине сделался добрее, то есть не притеснял ее и держал себя так, точно ее совсем не было и на свете.

В грустный день помещения детей у деда Галактион остался в Заполье и решительно не знал, что ему делать. Ехать в Городище тоже не хотелось. Именно в этот критический момент он вспомнил про старика Луковникова. Строгий был человек, правильной жизни. Галактиону мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь его бранил, попрекал, говорил строгие слова. Он вечером отправился к Луковникову именно под этим настроением. Старик встретил его довольно неприветливо и смотрел такими глазами, что зачем-де пожаловал незваный гость.

— Давненько не видались, Галактион Михеич.

— Да, давненько, Тарас Семеныч. Все собирался как-нибудь завернуть.

— Уж и собирался? Перестань пустые-то слова говорить... На что вам меня, старика?

— Сами не молодые, Тарас Семеныч.

Сначала старик подумал, что не приехал ли Галактион занимать у него денег, — ведь слава богатого человека еще оставалась за ним, — а потом догадался по выражению лица Галактиона и по тону разговора, что дело совсем не в этом. В последнее время он сильно недолюбливал Галактиона и теперь не мог побороть в себе этого чувства. Так бы вот, кажется, все и отпечатал... На, слушай, Галактион пробовал что-то говорить, но разговор не вязался. И гость и хозяин молчали Луковников поднялся, прошелся по комнате, разгладил седую бороду и проговорил как-то в упор:

— Что, Галактион Михеич, худо?.. То-то вот и есть. И сказал себе человек: наполню житницы, накоплю сокровища. Пей, душа, веселись!.. Так я говорю? Эх, Галактион Михеич! Ведь вот умные люди, до всего, кажется, дошли, а этого не понимают.

— А разве виноват человек, если он не по-

нимает, Тарас Семеныч?

— Кругом виноват... На то ему дан разум, — не ум, а разум. Богатство — это нож... Им можно много хорошего сделать, а делают больше зла... да.

— Опять-таки, Тарас Семеныч, и злой человек себе худа не желает... Все лучше думает сделать.

— Да, для себя... По пословице, и вор богу молится, только какая это молитва? Будем говорить пряменько, Галактион Михеич: нехорошо. Ведь я знаю, зачем ты ко мне-то пришел... Сначала я, грешным делом, подумал, что за деньгами, а потом и вижу, что совсем другое.

— Да, другое, — откликнулся Галактион, точно эхо. — Сегодня вот детей к тетке Агнии свез.

— И будешь возить по чужим дворам, когда дома угарно. Небойсь стыдно перед детьми свое зверство показывать... Вот так-то, Галактион Михеич! А ведь они, дети-то, и совсем большие вырастут. Вырасти-то вырастут, а к отцу путь-дорога заказана. Ах, нехорошо!.. Жену не жалел, так хоть детей бы пожа-

лел. Я тебе по-стариковски говорю... И обидно мне на тебя и жаль. А как жалеть, когда сам человек себя не жалеет?

— А как вы думаете, Тарас Семеныч, бывают на свете проклятые люди? Так, от рождения?..

Луковников хотел что-то ответить, но в этот момент вошла Устенька сказать, что чай готов. Она очень удивилась, когда увидала Галактиона, и раскланялась с ним издали.

— Чай готов, папа.

— Что же, дело хорошее. Пойдем, Галактион Михеич.

Галактион тоже смутился. Он давно не видал Устеньки. Теперь это была совсем взрослая девушка, цветущая и с таким смелым лицом. В столовой несколько времени тянулась самая неловкая пауза.

— Галактион Михеич, я сегодня видела ваших детей, — заговорила первой Устенька. — Девочка такая милая и мальчик...

— Да? — спросил Галактион, не понимая. — Ах, да, дети!..

Наступила опять пауза. Устенька упорно отмалчивалась и старалась не смотреть на го-

стя, а потом торопливо выпила свою чашку и вышла.

— Ты вот что, Галактион Михеич, — заговорил Луковников совсем другим тоном, точно старался сгладить молодую суровость дочери. — Я знаю, что дела у тебя не совсем... Да и у кого они сейчас хороши? Все на волоске висим... Знаю, что Мышников тебя давит. А ты вот как сделай... да... Ступай к нему прямо на дом, объясни все начистоту и... одним словом, он тебе все и устроит.

— Мышников?

— Да, Мышников. Уж я-то его вот как хорошо знаю.

Глава 54

Когда Галактион ушел, Устенька напала на отца с необыкновенным азартом.

— Папа, я решительно не понимаю, как ты можешь принимать таких ужасных людей, как этот Колобов. Он заколотил в гроб жену, бросил собственных детей, потом эта Харитина, которую он бьет... Ужасный, ужасный человек!.. У Стабровских его теперь не принимают... Это какой-то дикарь.

— И я его тоже не хвалю... да. А мне его

жаль. Ведь умница и характер — железо. Только как-то вся жизнь у него вверх дном. Одним словом, несчастный человек.

— Он? Несчастный?

— Совсем несчастный! Чуть-чуть бы по-другому судьба сложилась, и он бы другой был. Такие люди не умеют гнуться, а прямо ломаются. Тогда много греха на душу взял старик Михей Зотыч, когда насильно женил его на Серафиме. Прежде-то всегда так делали, а по нынешним временам говорят, что свои глаза есть. Михей-то Зотыч думал лучше сделать, чтобы Галактион не сделал так, как брат Емельян, а оно вон что вышло.

— И Михей Зотыч тоже дрянной. Ведь это он мельницы свои сжег?

— Ну, это еще неизвестно, Устенька. Могли и сами сгореть. Мало ли что зря болтают.

— Ты, папа, всегда и всех защищаешь, а так нельзя.

— Поживешь с мое, так и сама будешь то же говорить. Мудрено ведь живого человека судить... Взять хоть твоего Стабровского: он ли не умен, он ли не хорош у себя дома, — такого человека и не сыщешь, а вышел на ули-

цу — разбойник... Без ножа зарежет. Вот тут и суди.

Для такой философии у Луковникова было достаточно материала. Особенно в последнее время пошатнулся народ, и совсем не разберешь, где кончается хороший человек и где начинается дурной. Да и вообще кругом делалось бог знает что. Не заметишь, как и сам попадешь в негодяи. Раздумывая о самом себе, Луковников приходил именно к такому заключению. Его дела с вальцовой мельницей затягивались в какой-то проклятый узел. Все операции давно вышли из всяких предварительных смет и намеченных бюджетов. Сама по себе мельница стоила около трехсот тысяч, затем около семисот тысяч требовалось ежегодно на покупку зерна, а самое скверное было то, что готовый товар приходилось реализовать в рассрочку, что составляло еще около полумиллиона рублей. Около дела таким образом сосредоточивался в общей сложности капитал в полтора миллиона рублей. Таких денег налицо у Луковникова не было, и добрую половину приходилось добывать в кредит. Обороты этих трех капиталов, кото-

рые представляла собой мельница, зерно и готовый товар, шли с неравномерной скоростью, и трудно было подводить общий торговый баланс. Иногда каких-нибудь две недели стоили десятков тысяч, потому что все хлебное дело постепенно перешло в какую-то азартную игру. Рвал куши тот, кто умел поймать момент. Кроме того, в верховьях Ключевой выстроены были две новых вальцовых мельницы, представлявших очень опасную конкуренцию как при закупке зерна, так и при сбыте крупчатки. На рынок выдвигались страшные капиталы, которые беспощадно давили хлебную мелюзгу, как крупные хищники давят хлебных мышей. Сплетались тысячи условий, которые трудно было предугадать, и выдвигались с каждым годом все новые.

Особенно характерен был для хлебного дела прошлый год, когда в полосе Зауралья, прилегавшей к горам, случился недород благодаря дождливому лету. Произошла крупная игра на хлеб степной полосы. Скупались миллионные партии, и мелкотравчатые мельники, как старик Колобов, остались совсем без зерна. Нечего было молоть. Шла именно игра,

спекуляция с миллионным риском, а не обыкновенное промышленное дело. Тут выяснился в первый раз роковой вопрос, что золотое дно, каким до сих пор считалось Зауралье, не может обеспечивать равномерно хлебом работу всех мельниц. До сих пор рынок пополнялся из старых крестьянских запасов, а сейчас их уже не было, и приходилось жить одним годом. Производитель зерна жил от одной осени до другой и весь находился в полной зависимости от одного урожая. Этого раньше не было.

Окончательно достукала зауральского мужика только что открытая Уральская железная дорога. Это открытие совпало с неурожаем в Поволжье, и зауральский хлеб полился широкою волной в далекую Россию. От этой операции нажились главным образом верховые мельники, стоявшие в самом горле, то есть у железной дороги. Они сбыли миллионные партии и нажили целые состояния. Мельница Луковникова тоже работала отлично, хотя и в менее выгодных условиях, проигрывая на летней перевозке гужом, — верховые мельники подвезли зерно по дешевой

зимней дороге. Особенно один случай остался в памяти Луковникова как зловещий признак. Он еще с осени законтрактовал партию в тридцать тысяч мешков дешевого сибирского хлеба, которую Галактион обязался доставить на своих пароходах в Тюмень. Весна вышла неопределенная, и по официальным бюллетеням об урожае трудно было судить, что еще будет. В общем ожидался средний урожай, и цены на муку не поднимались. Луковников задержал партию на всякий случай, выжидая цену. Наступил июнь, а цены не поднимались. Тогда Луковников послал в Рыбинск своего доверенного и запродал всю партию чуть не за свою цену. Но не прошло двух недель, как цена сразу поднялась на два рубля с мешка, — другими словами, подожди он две недели, и это дало бы шестьдесят тысяч чистого барыша. Одним словом, шла самая отчаянная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на смерть. Две-три неудачных операции разоряли в лоск, и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. А тут еще помогал банк, закрывая кредит пошатнувшимся фирмам и увеличи-

вая ссуды тем, которые и без этой помощи шли в гору.

Естественным результатом такого обострившегося порядка вещей было то, что по Ключевой началось оплошное разорение средней величины мельников, как старик Колобов. Это были жертвы даже не конкуренции, а биржевой игры на хлеб. У них был отнят и зерновой рынок, и кредит, и заперт семью печатями оптовый сбыт. Кое-кто еще держался, торгуя по мелочам, но в общем дело было конченное. Вопрос теперь заключался в том, что будет с полсотней крупчаточных мельниц, построенных на Ключевой. Первую мельницу-крупчатку поставил старик Колобов, и он же показал выход, когда застраховал две новых мельницы и сжег их. Это точно послужило сигналом. Мельничные пожары начали из года в год повторяться с математическою точностью, так что знатоки дела вперед предсказывали, чьи теперь мельницы должны были гореть. И обреченные мельницы в указанный срок загорались.

Разъезжая по своим делам по Ключевой, Луковников по пути завернул в Прорыв к Ми-

хею Зотычу. Но старика не было, а на мельнице оставались только сыновья, Емельян и Симон. По первому взгляду на мельницу Луковников определил, что дела идут плохо, и мельница быстро принимала тот захудалый вид, который говорит красноречивее всяких слов о внутреннем разрушении.

— Ну, как вы тут поживаете, Емельян Михеич? — спрашивал гость.

— А ничего... Помаленьку.

— Чего тут помаленьку! — вступился не утерпевший Симон. — Совсем конец приходит, Тарас Семеныч... Тятенька-то забрал все деньги за сгоревшие мельницы и ушел с ними в скиты, а мы вот тут и выворачивайся, как знаешь.

— Слышал, слышал, — уклончиво ответил Луковников. — Что же, надо терпеть, пока молоды. Под старость будет зато легче.

— А я уйду, как сделал Галактион... Вот и весь разговор. Наймусь куда-нибудь в приказчики, Тарас Семеныч, а то буду арендовать самую простую раструсочную мельницу, как у нашего Ермилыча. У него всегда работа... Свое зерно мужички привезут, смелют, а ты толь-

ко получай денежки. Барыши невелики, а зато и убытков нет. Самое верное дело...

— Правильно, Симон Михеич. Это точно... да. Вот и нашим вальцовым мельницам туго приходится... А Ермилыча я знаю. Ничего, оборотистый мужичонко и не любит, где плохо лежит. Только все равно он добром не кончит.

— Все мы плохо кончим... На людях и смерть красна.

Луковникову нравился этот молодой задор Симона. Вот так же Устенька любит спорить... Да, малому трудненько было жить на разоренной мельнице ни у чего. И жаль, и помочь нечем.

— И Галактиону не сладко приходится, — сказал Луковников, чтобы утешить чем-нибудь Симона. — Даже и совсем не сладко.

— Все-таки Галактион у своего дела, Тарас Семеныч. Сам большой, сам маленький... А мы с Емельяном, как говорится, ни к шубе рукав.

— А тятеньку-то забыл? Он теперь за всех в скитах своих вот как молится... Не ропщи, молодец.

Проезжая мимо Суслона, Луковников завернул к старому благоприятелю попу Макару. Уже в больших годах был поп Макар, а все оставался такой же. Такой же худенький, и хоть бы один седой волос. Только с каждым годом старик делался все ниже, точно его гнула рука времени. Поп Макар ужасно обрадовался дорогому гостю и под руку повел его в горницы.

— Вот уж угодил, можно оказать... — бормотал он. — Редкий гость, во-первых, а во-вторых...

Поповский язык точно замерз. Поп Макар придержал гостя и шепотом сообщил:

— А ведь там у меня того... значит, в горнице-то, нечестивый Ахав сидит.

— Какой Ахав?

— А Полуянов? Вместе с мельником Ермилычем приехал, потребовал сейчас водки и хвалится, что засудит меня, то есть за мое показание тогда на суде. Мне, говорит, нечего терять... Попадья со страхов убежала в суседи, а я вот сижу с ними да слушаю. Конечно, во-первых, я нисколько его не боюсь, нечестивого Ахава, а во-вторых, все-таки страшно...

«Нечестивый Ахав» действительно сидел в поповской горнице, весь красный от выпитой водки. Дорожная котомка и палка лежали рядом на стуле. Полуянов не расставался с своим ссыльным рубищем, щеголяя своим убожеством. Ермилыч тоже пил водку и тоже краснел. Неожиданное появление Луковникова немного всполошило гостей, а Ермилыч сделал движение спрятать бутылку с водкой.

— Не тронь... — остановил Полуянов. — Сие посох страннический.

По Зауралью Луковников слыл за миллионера, а затем он был уже четвертое трехлетие городским головой. Вообще именитый человек, и Ермилыч трепетал.

— Здравствуйте, господа, — просто поздоровался Луковников. — Как это ты сюда попал, Илья Фирсыч?

— Я-то? А даже очень просто... Пешком пришел сказать вот попу Макару и Ермилычу, что окручу их в бараний рог... да. Я не люблю исподтишка, а прямо действую.

— Не прежние времена, Илья Фирсыч, чтобы рога-то показывать, — ответил пап Макар, на всякий случай отступая к стенке. — Во-пер-

вых...

— Что-о? — зарычал Полуянов. — Да я... я... я вот сейчас выпью рюмку водки... а. Всех предупреждаю... Я среди вас, как убогий Лазарь, хуже, — у того хоть свое собственное гноище было, а у меня и этого нет.

— Богатство тоже к рукам, Илья Фирсыч, — заметил Луковников, подсаживаясь к столу. — И голова к месту, и деньги к рукам... Да и считать в чужих карманах легче, чем в своем.

— Х-ха! — замялся Полуянов. — А вот я в свое время отлично знал, какие у кого и в каких карманах деньги были. Знал-с... и все меня трепетали. Страх, трепет и землетрясенье...

— Да будет тебе... — останавливал его Ермилыч.

— Что-о?

— В самом деле, довольно, — заговорил Луковников. — В самом деле, никому не страшно. Да как-то оно и нехорошо: вон в борода седая, а говоришь разные пустые слова. Прошлого не воротишь.

— Нет, постойте... Вот ты, поп Макар, пре-

дал меня, и ты, Ермилыч, и ты, Тарас Семеныч, тоже... да. И я свою чашу испил до самого дна и понял, что есть такое суета сует, а вы этого не понимаете. Взгляните на мое рубище и поймете: оно молча вопиет... У вас будет своя чаша... да. Может быть, похуже моей... Я-то уж смирился, перегорел душой, а вы еще преисполнены гордыни... И первого я попа Макара низведу в полное ничтожество. Слышишь, поп?

— Ох, слышу!.. Пил бы уж ты лучше свою водку, Илья Фирсыч, да прилег отдохнуть.

— Не понравилось? Х-ха!.. Не любите? Х-ха! Не согласны? Х-ха!..

Запас энергии Полуянова вдруг исчез, он уже машинально выпил залпом две рюмки и заснул тут же на диване.

Глава 55

Из своей «поездки по уезду» Полуянов вернулся в Заполье самым эффектным образом. Он подкатил к малыгинскому дому в щегольском дорожном экипаже Ечкина, на самой лихой почтовой тройке. Ечкин отнесся к бывшему исправнику решительно лучше всех и держал себя так, точно вез прежнего

Полуянова.

— Вот не ожидал... да... — откровенно удивлялся Полуянов. — Прежние-то дружки смотреть не хотят, два пальца подают, а то я прямо отвертываются... да. Только в несчастии узнаешь людей.

— И все по-своему правы, Илья Фирсыч, — объяснял Ечкин. — Ведь все люди, если разобрать, одинаковы, потому что все — мерзавцы.

— Именно!

— Поэтому истинный философ никогда не огорчается... Вот посмотрите на меня: чего я не перенес? Каких гадостей про меня не говорили? А я все терплю и переношу.

— Именно!.. И я тоже много испытал, Борис Яковлич... Царствовал, можно оказать, а сейчас яко Иов многострадальный... Претерпел, можно сказать, до конца. И не ропщу... Только вот проклятого попа извести, и конец всему делу.

Харитон Артемьич, ждавший возвращения Полуянова с детским нетерпением, так и ахнул, когда увидел, как он приехал в одном экипаже с Ечкиным. Что же это такое? Обе-

щал засудить Ечкина, а сам с ним по уезду катается...

— Ты это что, Илья Фирсыч? Никак совсем сбесился? — накинулся старик на Полуянова. — Обещал судиться с Ечкиным, а сам...

— Погоди, старче, гусей по осени считают.

— Да ты мне не заговаривай зубов! Мне ведь на свои глаза свидетелей не надо... Ежели ты в других зятьев пойдешь, так ведь я и на тебя управу найду. Я, брат, теперь все равно, как медведь, которого из берлоги подняли.

— А ты не сказывай никому... Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Так я говорю? А потом, как ты полагаешь, ежели, например, этот самый Ечкин мне место предлагает? Да-с.

— Место? О-хо-хо!.. На подсудимую скамью вместо себя али в острог? О нем давно острог-то плачет.

— Да ты слушай: настоящее место. Он будет в Заполье железную дорогу строить, а я смотрителем.

— Друг на дружку будете смотреть да любоваться? Ох, прокураты!

— Ну, ладно... Смеется последний, как говорят французы. Понимаешь, ведь это настоящий пост: смотритель Запольской железной дороги. Чуть-чуть поменьше министра... Ты вот поедешь по железной дороге, а я тебя за шиворот: стой! куда?

— Ох, уморил!.. Ох, смертынька!.. Вам надо с Ечкиным тиятр открывать да представление представлять. Ох, животики надорвали!

Полуянов даже обиделся. Ечкин действительно предложил ему место на будущей железной дороге, и он с удовольствием согласился послужить. Что же, он еще в силах и может быть полезным, особенно где требуется порядок. Его, брат, не проведут... Х-ха! Полуянова проверти, — нет, еще такой шельмы не родилось на белый свет. С другой стороны, Полуянов и не нуждался даже в этом месте, а принимал его просто по дружбе. У него и других мест достаточно. Сделайте милость, дела всякого сколько угодно. Во-первых, Замараев предлагает в своей кассе место бухгалтера потом Харченко предлагает в газете работать.

Харченко действительно имел виды на Полуянова, — он теперь на всех людей смотрел с

точки зрения завзятого газетчика. Мир делился на две половины: людей, нужных для газеты, и — людей бесполезных.

— Голубчик, ведь вы для нас настоящий клад, — уверял он Полуянова. — Ведь никто не знает так края, как вы.

— Да, немножко знаю... С завязанными глазами пройду пять уездов.

— И по истории у вас много есть интересных фактов.

— Чего лучше: сам история с географией.

Выбор между этими предложениями было сделать довольно трудно, а тут еще тяжба Харитона Артемьича да свои собственные дела с попом Макаром и женой. Полуянов достал у Замараева «законы» и теперь усердно зубрил разные статьи. Харитон Артемьич ходил за ним по пятам и с напряжением следил за каждым его шагом. Старика охватила сутяжническая горячка, и он наяву бредил будущими подвигами.

— Мне бы только начать, — мечтал он, — а там уж я и сам как-нибудь изловчился бы.

— Ну, это, брат, дудки! — огорошивал Полуянов. — Какие тебе законы, когда ты фами-

лию свою с грехом подписываешь?

— А я словесно.

— Нет, твоей словесности не требуется, а надо все по форме.

— Ох, уж эта мне форма!.. Зарез. Все по форме меня надували, а зятья лучше всех... Где же правда-то? Ведь есть же она, матушка? Меня грабят по форме, а я должен молчать... Нет, шалишь!

Полуянов мог только улыбаться, слушая этот бред, подводимый им под рубрику «покушений с негодными средствами». Он вообще усвоил себе постепенно покровительственный тон, разговаривая с Харитоном Артемьичем, как говорят с капризничающими детьми. Чтоб утешить старика, Полуянов при самой торжественной обстановке составлял проекты будущих прошений, жалоб и разных докладных записок.

— Ты у меня, как волчий зуб, — льстил Харитон Артемьич, благоговея перед искусством зятя, — да... Ох, ежели бы да меня учить, — сколько во мне этой самой злости!.. Прямо бери и сади на цепь.

— Тут злостью ничего не возьмешь. Пусти

тебя в суд, ты первым бы делом всех обругал.

— Ох, обругал бы!.. А там хоть расколи на части... Только бы сердце сорвать.

— Вот то-то и есть. Какой же ты адвокат? Тебе оглоблю надо дать в руки, а не закон.

Никогда еще у Полуянова не было столько работы, как теперь. Даже в самое горячее время исправничества он не был так занят. И главное — везде нужен. Хоть на части разрывайся. Это сознание собственной нужности приводило Полуянова в горделивое настроение, и он в откровенную минуту говорил Харитону Артемьичу:

— Без меня, брат, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... И тут нужен, и там нужен, и здесь нужен. Вот тебе и лишенный особенных прав и преимуществ... Х-ха!.. Вот только не знаю, куда окончательно пристроиться.

— А ты не разбегайся, — советовал Харитон Артемьич. — Ломи в одну точку, и шабаш. Значит, накаливай по одному месту.

— Не беспокойся, охулки на руку не положим.

— То-то... Первое дело, будем добывать

проклятого писаря, а там закорчим и других.

Полуянов долго не решался сделать окончательный выбор деятельности, пока дело не решилось само собой. Раз он делал моцион перед обедом, — он приобретал благородные привычки, — и увидел новую вывеску на новом доме: «Главное управление Запольской железной дороги». Полуянов остановился, протер глаза, еще раз перечитал вывеску и сказал всего одно слово:

— Эге!

На другой день он, одетый с иголочки во все новое, уже сидел в особой комнате нового управления за громадным письменным столом, заваленным гроссбухами. Ему нравилась и солидность обстановки и какая-то особенная деловая таинственность, а больше всего сам Ечкин, всегда веселый, вечно занятый, энергичный и неутомимый. Одна квартира чего стоила, министерская обстановка, служащие, и все явилось, как в сказке, по щучьему веленью. В первый момент Полуянов даже смутился, отозвал Ечкина в сторону и проговорил:

— А я думаю, Борис Яковлич, очки себе ку-

пить… дымчатые, в золотой оправе… да.

— Разве у вас глаза слабы?

— Нет… Но в очках как-то солиднее. Стабровский носит очки, Мышников, — одним словом, все серьезные люди.

— Отчего ж, можно и очки, — милостиво согласился Ечкин, думавший совсем о другом. — Да, конечно, очки…

— Купцы, и те нынче в очках ходят. Вон Евграф Огибенин… да.

На следующий день Полуянов явился в золотых очках и даже подстриг бороду a la граф Шамбор. Нельзя, дело было слишком серьезное, и каждая мелочь имела свое значение.

Все, знавшие Ечкина, смеялись в глаза и за глаза над его новой затеей, и для всех оставалось загадкой, откуда он мог брать денег на свою контору. Кроме долгов, у него ничего не было, а из векселей можно было составить приличную библиотеку. Вообще Ечкин представлял собой какой-то непостижимый фокус. Его новая контора служила несколько дней темой для самых веселых разговоров в правлении Запольского банка, где собирались Стабровский, Мышников, Штофф и Драке.

— Это какое-то безумие, — говорил Мышников. — Я на месте Ечкина давно бы повесился, а он железную дорогу строить придумал.

— Будет стеариновые свечи возить с закрытого завода, — вышучивал Штофф. — Даже можно так и назвать: стеариновая дорога...

— Что-нибудь тут кроется, господа, — уверял Стабровский. — Я давно знаю Бориса Яковлича. Это то, что называют гением без портфеля. Ему недостает только денег, чтобы быть вполне порядочным человеком. Я часто завидую его уму... Ведь это удивительная голова, в которой фейерверком сыплются самые удивительные комбинации. Ведь нужно было придумать дорогу...

— Да, гений... — соглашался Мышников. — Совсем нового типа гений: вексельный. Ему все равно — терять нечего... Недостает только, чтоб он объявил какую-нибудь войну.

— Какую войну? — не понимал, по обыкновению, Драке.

— Мало ли какую... Была же какая-то война за испанское наследство. Вот бы Ечкину

примазаться в самый раз.

Вообще банковские воротилы имели достаточно времени для подобных разговоров. Дела банка шли отлично, и банковские акции уже поднялись в цене в два с половиной раза.

Пока банковские заправилы шутили, Ечкин неутомимо хлопотал. Он то пропадал из Заполья, то снова появлялся, точно метеор. И только один Полуянов, сохранивший чутье старого сыщика, понял, наконец, в чем дело. Ечкин, потихоньку от всех, «разрабатывал» неприступного миллионера Нагибина. Какими путями он пробрался к нему, чем заслужил доверие этого никому не верившего скряги, — оставалось неизвестно. Но Полуянов отлично знал, что по вечерам, когда стемнеет, Ечкин ездил к Нагибину, жившему на краю города, и проводил там по нескольку часов. Конечно, даром Ечкин не стал бы терять золотое время. Он, впрочем, не один раз возвращался в изнеможенном отчаянии, брал Полуянова за пуговицу его сюртука и говорил:

— Ведь я — святой человек, Илья Фирсыч, святой по терпению... Господи, чего только я

не терплю? Нет, кажется, такой глупости, которую не приходилось бы проделывать. И, ей-богу, не для себя хлопочу, а для других...

— Глупый народ, Борис Яковлич... Ничего не понимают. Я тоже натерпелся вполне достаточно...

— Да, да... Например, деньги — что такое деньги, когда они лежат без всякой пользы? Это все равно — если хорошенькую женщину завязать в мешок... да. Хуже: это разврат.

— Совершенный разврат, Борис Яковлич.

— Нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать такой простой вещи. Деньги — то же, что солнечный свет, воздух, вода, первые поцелуи влюбленных, — в них скрыта животворящая сила, и никто не имеет права скрывать эту силу. Деньги должны работать, как всякая сила, и давать жизнь, проливать эту жизнь, испускать ее лучами.

— Я то же самое всегда думал, Борис Яковлич.

Таинственные визиты Ечкина к Нагибину закончились совершенно неожиданно. Даже видавший всякие виды на своем веку Полуянов ахнул, когда Ечкин однажды утром за-

явил ему:

— Илья Фирсыч, вы мне сегодня нужды... Ведь вы умеете быть шафером?

— Случалось. Только я-то сейчас не гожусь. Шафером бывают молодые, неженатые люди, а я... гм...

— Э, пустяки!.. Там где-то нужно что-то такое расписаться, — одним словом, глупая формальность.

— Свидетелем могу быть.

— Дело в следующем... да. Ведь вы знаете, что у этого миллионера Нагибина есть девица-дочь. Ей уже за тридцать... да. А ведь женщина — тоже капитал, который необходимо реализировать. Хорошо. Вы помните, что есть молодой человек Колобов, Симон? Он сидит на отцовской мельнице совсем без дела и ловит мух. Я и поехал к нему на мельницу и все объяснил. Если он женится на Нагибиной, у него будет все. Понимаете?.. Ну, конечно, молодой человек сначала ничего не понимал... Мне же пришлось ему объяснять, что ранняя молодость и женская красота в семейной жизни еще не составляют счастья, а нужно искать душу... Понимаете?.. Ломался-ломался,

а я все-таки его привез и прямо к Нагибиным. Пришлось быть сватом. Без меня у них ничего бы не вышло. Так вот, будет свадьба, такая — без шуму, и вы будете свидетелем.

Полуянов смотрел на Ечкина с раскрытым ртом, потом схватил его за руку и восторженно проговорил:

— Борис Яковлевич... Ведь это что же такое, а? Это... это... Вам бы по-настоящему сибирским исправником быть!

Глава 56

Мы уже сказали выше, что за время отсутствия Полуянова в Заполье было открыто земство. В соседних губерниях земские учреждения действовали уже давно и успели пережить первую горячую пору увлечений, так что запольские земцы уже не увлекались ничем. Да и контингент гласных был почти тот же, что и в думе, с прибавкой нескольких мужиков, писарей и деревенских попов, как о. Макар из Суслона. В Запольском уезде не было ни одного помещика, поэтому земство получило отчасти купеческий характер. Из новых людей выдались сразу Замараев, двоюродный брат Прасковьи Ивановны Голяшкин,

повторявший, как эхо, чужие слова, Евграф Огибенин и уже известные дельцы, как Мышников, Штофф и компания. К числу новых людей можно было отнести Стабровского. Его даже выбаллотировали в председатели земской управы, но он великодушно отказался в пользу кандидата, которым был Огибенин. И здесь, как в думе, подавлял всех Мышников, но его влияние в земских делах уже не имело той силы, как в купеческой думе. В земстве составился совершенно самостоятельный кружок гласных, не зависевших от Запольского банка, и Мышников получал отпор при каждой попытке проявить свой деспотизм. Он свои неудачи теперь вымещал на Огибенине, которого преследовал по пятам. В земских делах особенную силу получила гласность. Харченко попал в число гласных и работал по земским вопросам с каким-то ожесточением. Его прочили уже в члены управы. Недостаток людей чувствовался в земстве еще больше, чем в думе, и работала небольшая кучка. Вообще деятельность земства проявила себя с очень хорошей стороны, а главное — дело шло совершенно независимо от

всяких посторонних влияний.

Деятельность этого нового земства главным образом выразилась в развитии народного образования. В уезде школы открывались десятками, а в больших селах, как Суслон, были открыты по две школы. Пропагандировал школьное дело Харченко, и ему даже предлагали быть инспектором этих школ, но он отказался. Газета, типография и библиотека отнимали почти все время, а новых помощников было мало, да и те были преимущественно женщины, как Устенька.

— Было бы дело, а люди будут, — уверенно повторял Харченко.

По земским делам Харченко особенно близко сошелся со стариком Стабровским. Этому сближению много способствовала Устенька. Она знала, что Стабровский увлекается земством и в качестве влиятельного человека может быть очень полезен. Вышла довольно комичная сцена первого знакомства.

— Мы с вами враги по части банковских и винокуренных дел, — откровенно объяснил Стабровский, — но думаю, что будем друзьями в земстве.

— Это будет видно.

— Я почти уверен... Здесь наши интересы вполне совпадают.

Стабровский никогда и ничего не делал даром, и Устенька понимала, что, сближаясь с Харченкой, он, с одной стороны, проявлял свою полную независимость по отношению к Мышникову, с другой — удовлетворял собственному тяготению к общественной деятельности, и с третьей — организовал для своей Диди общество содержательных людей. В логике Стабровского все в конце концов сводилось к этой Диде, которая была уже взрослою барышней.

— Сморчок какой-то, — резюмировала Диди свое впечатление, познакомившись с Харченкой. — Я удивляюсь пристрастию папы к разным монстрам.

Устенька бывала у Стабровских довольно часто, хотя и с перерывами. Но стоило ей не быть с неделю, как старик встречал ее ворчаньем и выговорами. Он вообще заметно старился, делался требовательнее и брюзжал, как настоящий старик. Устеньку забавляло, как он ревновал ее ко всем и требовал самого

подробного отчета в поведении, точно отец. С другой стороны, это упорное внимание трогало и подкупало ее. Она так любила Стабровского, когда он был у себя дома. В нем было столько какой-то неудовлетворенной жажды деятельности, особенной теплоты и еще более особенной польской культурности. Никто так не умел взвесить и оценить во всех мельчайших подробностях всякое новое явление, как Стабровский. В земской деятельности он хотел точно искупить самого себя и отдавался ей с жаром молодого человека.

— Ах, как я завидую вам, молодым людям! — повторял он с какою-то тоской. — Ведь перед вами целая жизнь впереди. Жаль подумать, в какое время нам пришлось прожить свою молодость. Я тебе как-нибудь расскажу, Устенька. Да, тяжелое было время. Когда говорят о недостатках и недочетах настоящего, я всегда вспоминаю это далекое прошлое, бесправное, несправедливое и темное. Ведь теперь каждая земская школа является уже светлым лучом, знамением времени, залогом будущего... Впереди — грамотная Россия, свободный труд, нарастающая культура!

Насколько сам Стабровский всем интересовался и всем увлекался, настолько Дидя оставалась безучастной и равнодушной ко всему. Отец утешал себя тем, что все это результат ее болезненного состояния, и не хотел и не мог видеть действительности. Дидя была представителем вырождавшейся семьи и не понимала отца. Она могла по целым месяцам ничего не делать, и ее интересы не выходили за черту собственного дома.

Когда приходила Устенька, Стабровский непременно заводил речь о земстве, о школах и разных общественных делах, и Устенька понимала, что он старается втянуть Дидю в круг этих интересов. Дидя слушала из вежливости некоторое время, а потом старалась улизнуть из комнаты под первым предлогом. Старик провожал ее печальными глазами и грустно качал головой.

Раз, среди самого серьезного разговора, Устенька неожиданно спросила старика:

— Скажите, Болеслав Брониславич, вы очень не любите Галактиона Михеича?

— Да, не люблю.

— Не будет с моей стороны нескромным

вопросом, если спрошу: за что?

— Причин достаточно, а главная — та, что из него вышло совсем не то, что я предполагал. Впрочем, это часто случается, что мы в людях не любим именно свои собственные ошибки. А почему тебя это интересует?

— Да так... Он нынче бывает у отца, и я возмущалась, что отец его принимает.

— Ах, это совсем другое дело! Мы, старики, в силу вещей, относимся к людям снисходительнее, хотя и ворчим. Молодость нетерпима, а за старостью стоит громадный опыт, который говорит, что на земле совершенства нет и что все относительно. У стариков, если хочешь, своя логика.

Устенька не без ловкости перевела разговор на другую тему, потому что Стабровскому, видимо, было неприятно говорить о Галактионе. Ему показалось в свою очередь, что девушка чего-то не договаривает. Это еще был первый случай недомолвки. Стабровский продумал всю сцену и пришел к заключению, что Устенька пришла специально для этого вопроса. Что же, это ее дело. Когда девушка уходила, Стабровский с особенной нежно-

стью простился с ней и два раз поцеловал ее в голову.

— Умница ты моя... — повторял он взволнованно.

Раз, когда Устенька была одна, неожиданно заявился Галактион. Она встретила его довольно сурово, но он, кажется, совсем был нерасположен что-нибудь замечать.

— Папы нет дома.

— Нет? А я его подожду.

— Как хотите.

Он говорил таким тоном, каким говорят с прислугой. Устенька обиделась и вышла из комнаты. Пусть сидит один, невежа! Галактион действительно сидел у стола и ничего не хотел замечать. Устенька два раза посмотрела на него в щель двери и совсем рассердилась. В самом деле, это нахальство — явиться в дом, сесть и не обращать ни на кого внимания. Устенька волновалась. Ее раздражение достигло высшей степени, когда она услышала, что Галактион сидит и смеется. Нет, это уж слишком... Она вышла к Галактиону и увидела, что он сидит с последним номером «Запольского курьера» и хохочет.

— Может быть, вам что-нибудь нужно передать папе?

— Ах, это вы, барышня! — удивился Галактион, продолжая смеяться.

— Чему вы смеетесь?

— Да очень уж смешно в газете пишут.

— Ничего смешного нет.

— Да вы не читали... Вот посмотрите — целая статья: «Наши партии». Начинается так: «В нашем Заполье городское общество делится на две партии: старонавозная и новонавозная». Ведь это смешно? Пишет доктор Кочетов, потому что дума не согласилась с его докладом о необходимых санитарных мерах. Очень смешные слова доктор придумал.

— А по-моему, так это просто неприличные слова... Вероятно, и доктор придумал их в ненормальном состоянии.

— Ничего вы не понимаете, барышня, — довольно резко ответил Галактион уже серьезным тоном. — Да, не понимаете... Писал-то доктор действительно пьяный, и барышне такие слова, может быть, совсем не подходят, а только все это правда. Уж вы меня извините, а действительно мы так и живем...

по-навозному. Зарылись в своей грязи и знать ничего не хотим... да. И еще нам же смешно, вот как мне сейчас.

— Кто же вам велит так жить?

— Кто велит?.. Вот видите, барышня, как я с вами буду разговаривать... Если вам сказать все прямо, так вы, пожалуй, и обидитесь.

— Можно все говорить, если серьезно.

— Да? Так... Хорошо. Прежде всего все мы звери. Вы скажете: «Ах, это мужчины звери, а женщины бедные» и прочее. Так? Хорошо? Отчего же теперь постоянно такая вещь выходит: вот я вдовец, у меня дети, я женюсь на хорошей девушке, а эта хорошая девушка и начинает изживать со свету моих детей?.. Одним словом, мачеха. Ведь таких случаев сколько угодно-с... да. Значит, у мужчины одно зверство, а у женщины другое, а вместе нам одно название: звери. Конечно, есть такие особенные хорошие люди, да лиха беда, что их очень уж мало... Вот переберите-ка свои поступки и обдумайте... да. Так-то вот я часто про себя думаю... Думаешь-думаешь — и даже страшно сделается. Да разве это я? да разве я такой?.. Если бы про другого рассказа-

ли это, так не поверил бы... да.

— И я не верю.

— Кому?

— Вам... Да, не верю. Вы — нехороший человек... Вам этого никто не смеет сказать, а я скажу, чтобы вы и сами знали. Ведь каждый человек умеет очень хорошо оправдывать только самого себя.

Девушка раскраснелась и откровенно высказала все, что сама знала про Галактиона, кончая несчастным положением Харитины. Это был целый обвинительный акт, и Галактион совсем смутился. Что другие говорили про него — это он знал давно, а тут говорит девушка, которую он знал ребенком и которая не должна была даже понимать многого.

— Да, да, да... — азартно повторяла Устенька, точно Галактион с ней спорил. — И я удивляюсь, как вы решаетесь приходить к нам в дом. Папа такой добрый, такой доверчивый... да. Я ему говорила то же самое, что сейчас говорю вам в глаза.

Галактион поднялся бледный, страшный, что-то хотел ответить, но только махнул рукой и, не простившись, пошел к двери.

Устенька стояла посреди комнаты. Она задыхалась от волнения и боялась расплакаться. В этот момент в гостиную вошел Тарас Семеныч. Он посмотрел на сконфуженного гостя и на дочь и не знал, что подумать.

— Галактион Михеич, куда же ты бежишь?

Галактион обернулся и, показывая на Устеньку, проговорил всего одно слово:

— Она права.

У Луковникова произошло довольно неприятное объяснение с дочерью:

— Устенька, так нельзя. Наконец, какое ты имела право оскорблять человека в своем доме?

— А если я не могу, папа?.. Ведь вы все молчите, а я взяла и сказала. Я ему все сказала.

— И он тоже все сказал... Ведь хороший бы человек из него мог быть, если бы такая голова к месту пришлась.

По своему характеру Луковников не мог никого обидеть, и поведение Устеньки его серьезно огорчило. В кого она такая уродилась? Права-то она права, да только все-таки не следовало свою правоту показывать этаким манером. И притом девушка — она и пони-

мать-то не должна Харитининых дел. Старик почти не спал всю ночь и за утренним чаем еще раз заметил:

— А я все-таки не согласен с тобой, Устенька. И правде бывает не место. Какие мы с тобой судьи? Ты думаешь, он сам хуже нашего понимает, где хорошо и где нехорошо?

Устенька выслушала все и ничего не ответила. Тарас Семеныч только пожал плечами и по пути в свою думу заехал к Стабровскому. Он очень волновался, рассказывая все подробности дела.

— Ах, милая, милая! — восхищался Стабровский. — Господи, если б у меня была такая дочь! Ведь это молодое, чистое золото, Тарас Семеныч... Да я сейчас же поеду к ней и расцелую ее. Бедняжка, наверное, теперь волнуется.

— Нет, этого вы, пожалуйста, не делайте, Болеслав Брониславич. Пусть уж лучше она одна про себя раздумается.

Глава 57

Галактион приходил к Луковникову с специальною целью поблагодарить старика за хороший совет относительно Мышникова.

Все устроилось в какой-нибудь один час наилучшим образом, и многолетняя затаенная вражда закончилась дружбой. Галактион шел к Мышникову с тяжелым сердцем и не ожидал от этого похода ничего хорошего, а вышло все наоборот. Сначала Мышников отнесся к нему недоверчиво и с обычною грубоватостью, а потом, когда Галактион откровенно объяснил свое критическое положение, как-то сразу отмяк.

— Что же вы мне раньше ничего не сказали? — заметил Мышников с укором делового человека. — Без Стабровского можно обойтись, и даже очень.

— Да ведь вы, Павел Степаныч, знали положение дела. Что тут было говорить? Потом мне казалось, что вы относитесь ко мне...

— Вздор!.. Никак я не относился... У меня уж такой характер, что всем кажется, что я отношусь как-то нехорошо. Ваше дело хорошее, верное, и я даже с удовольствием могу вам помочь.

Собственно деловой разговор занял очень немного времени.

— Вы понимаете, что если я даю средства,

то имею в виду воспользоваться известными правами, — предупреждал Мышников. — Просто под проценты я денег не даю и не желаю быть ростовщиком. Другое дело, если вы мне выделите известный пай в предприятии. Повторяю: я верю в это дело, хотя оно сейчас и дает только одни убытки.

Это был самый лучший исход, и деньги Мышникова не ложились на пароходство займом, а входили живым капиталом. Главное — не было никаких нравственных обязательств и ответственности. Подсчитав актив и пассив, Мышников решил так:

— Скажу вам откровенно, Галактион Михеич, что всех своих денег я не могу вложить в пароходство, а то, что могу вложить, все-таки мало. Ведь все дело в расширении дела, и только тогда оно сделается выгодным. Так? Отчего вы не обратились к Штоффу, тем более что он не чужой вам человек?

— Вот именно последнее и служит препятствием, Павел Степаныч. С посторонним человеком всегда как-то легче вести дело и даже получить отказ не обидно.

— В таком случае позвольте мне с ним пе-

реговорить. Я думаю, что наша компания всего лучше устроится на таких основаниях: у вас два пая, а у меня со Штоффом по одному.

Галактиону приходилось только соглашаться. Да как и было не согласиться, когда все дело висело на волоске? Конечно, было жаль выпускать из своих рук целую половину предприятия, но зато можно было расширить дело. А главное заключалось в том, что компаньоны-пароходчики составляли большинство в банковском правлении и могли, в случае нужды, черпать из банка, сколько желали.

Одним словом, все дело устроилось наилучшим образом, и Галактион не смел даже мечтать о таком успехе. Оставалось только оформить договор и приступить к делу уже «сильною рукой», как говорил Павел Степаныч. Именно под этим впечатлением Галактион и отправился к Луковникову, чтобы поделиться со стариком своею радостью, а вместо этого получился такой разгром, какого он еще не испытывал. Кто угодно выскажи ему то же самое, что говорила Устенька, не было бы так обидно, а тут удар был нанесен такою

чистою и хорошею рукой.

Выйдя от Луковникова, Галактион решительно не знал, куда ему идти. Раньше он предполагал завернуть к тестю, чтобы повидать детей, но сейчас он не мог этого сделать. В нем все точно повернулось. Наконец, ему просто было совестно. Идти на квартиру ему тоже не хотелось. Он без цели шел из улицы в улицу, пока не остановился перед ссудною кассой Замараева. Начинало уже темнеть, и кое-где в окнах мелькали огни. Галактион позвонил, но ему отворили не сразу. За дверью слышалось какое-то предупреждающее шушуканье.

— Дома Флегонт Васильевич? — спросил Галактион горничную.

Горничная посмотрела на него какими-то оторопелыми глазами и потом убежала. Галактион снял пальто и вошел в гостиную. Где-то захлопали двери и послышался сердитый шепот.

«Они, кажется, здесь с ума сошли?» — невольно подумал Галактион.

В этот момент открылась дверь хозяйского кабинета, и в дверях показался Голяшкин,

одетый во фрак, белый галстук и белые перчатки. Он поманил гостя пальцем к себе.

— Ну, Галактион Михеич, ты нам всю обедню испортил, — шепотом заявил Голяшкин, запирая за собой дверь. — Ни раньше, ни после тебя принесло. Горничной-то прямо было наказано никого не принимать, а она увидала тебя и сбежала. Известно, дура.

— Куда это ты вырядился-то петухом галанским?

— Я-то? А мы на свадьбу.

Голяшкин зажал себе рот и изобразил ужас.

— Ох, продал проклятый язык! — виновато забормотал он, озираясь на запертую дверь. — Ведь сегодня твоего брата Симона женим... да.

— Симона?

— Его самого... В том роде выходит, что не невеста убегом выходит замуж, а жених. Совсем особенное дельце.

— Ничего не понимаю.

— И я тоже... Спроси Ечкина: он все оборудовал.

Теперь Галактион уже решительно ничего

не понимал. Его выручил появившийся Замараев. Он еще в первый раз в жизни надел фрак и чувствовал себя, как молодая лошадь в хомуте.

— Накрыл ты нас, Галактион Михеич, — заговорил он, стараясь придать голосу шутливый тон. — Именно, как снег на голову. Мы-то таимся, а ты тут как тут.

После некоторого ломанья Замараев рассказал все подробности предстоящей свадьбы. Галактион выслушал и спросил только одно:

— А отец ничего не знает?

— Никто и ничего не знает. Ечкин обернул дело уж очень скоро. Симон-то на отчаянность пошел. Всего и свидетелей трое: мы с Голяшкиным да Полуянов. В том роде, как бывают свадьбы-самокрутки.

— Отчего же Симон мне ничего не сказал? Ведь не чужие.

— А уж об этом ты его спроси сам.

— Хорошо, я спрошу. Вместе с вами поеду на свадьбу. Вперед не обманывайте добрых людей.

— Чего же тут обманывать? Слава богу, Си-

мон-то Михеич не двух лет по третьему. В своем уме паренек.

— Оно и похоже, что в своем.

— Да ведь и ты, Галактион Михеич, женился не по своей воле. Не все ли одно, ежели разобрать? А я так полагаю, что от своей судьбы человек не уйдет. Значит, уж Симону Михеичу выпала такая часть, а суженой конем не объедешь.

На этот разговор вышла Анна Харитоновна и начала уговаривать Колобова не ездить на свадьбу. Но эта политика суслонской писарихи имела как раз обратное действие. Галактион заявил решительно, что поедет.

— Ну, как знаете, Галактион Михеич, — обиделась Анна, — я, значит, вам же добра желаю. Прежде-то соседями живали, так оно тово...

Замараев едва успел придумать предупредительную меру, — он потихоньку послал Голяшкина вперед, а сам поехал вместе с Галактионом.

— Я вас на своей лошадке подвезу, Галактион Михеич.

— А Голяшкина загонщиком послал? Не

бойся, будут рады.

— Мне-то что же? Не к чужому человеку едете, а я только так... вообще...

Предупрежденный Симой встретил брата спокойно, хотя и с затаенной готовностью дать отпор. Свадьба устраивалась в нагибинском доме, и все переполошились, когда узнали, что едет Галактион, особенно сама невеста, уже одевавшаяся к венцу. Это была типичная старая девица с землистым цветом лица и кислым выражением рта.

— Где Ечкин? — спрашивала она, бросая свои наряды.

Как на грех, Ечкин, вертевшийся все время на глазах, куда-то пропал. Старик Нагибин совершенно растерялся и спрятался со страха.

— Позовите сюда Галактиона Михеича, — решила невеста. — Я сама с ним поговорю. А главное — чтоб он не оставался с глазу на глаз с Симоном.

Посредником явился все тот же Голяшкин, точно он готов был вылезть из собственной кожи.

— Галактион Михеич, вас невеста зовет. Пожалуйте к ним в комнату. Они вам хотят

словечко сказать... очень просили.

Так братья и не успели переговорить. Впрочем, взглянув на Симона, Галактион понял, что тут всякие разговоры излишни. Он опоздал. По дороге в комнату невесты он встретил скитского старца Анфима, — время проходило, минуя этого человека, и он оставался таким же черным, как в то время, когда венчал Галактиона. За ним в скит был послан нарочный гонец, и старик только что приехал.

Когда Галактион вошел в комнату, его встретила невеста и подала первая сухую и костлявую руку.

— Милости просим, Галактион Михеич, — заговорила она, подавляя невольное волнение. — Вы это очень хорошо сделали, что приехали к нам на свадьбу. Я даже не знала, что вы в городе.

— И я тоже случайно узнал про вашу свадьбу. Извините, я даже не знаю, как вас зовут.

— Натальей, а отца Осипом, — значит, вышла Наталья Осиповна.

Невеста говорила теперь уже совсем смело, овладев собой. Она сделала Голяшкину

знак глазами, чтоб он убирался.

— Садитесь, — предложила она. — У нас все так скоро случилось, что даже не успели оповестить родных. Уж вы извините. Ведь и ваша свадьба тоже скороспелкой вышла. Это прежде тянули по полугоду, да и Симон Михеич очень уж торопил.

— Что же, я ничего не говорю. Вам жить с Симоном, вам и знать, как и что.

— О нас не беспокойтесь, — с улыбкой ответила невеста. — Проживем не хуже других. Счастье не от людей, а от бога. Может быть, вы против меня, так скажите вперед. Время еще не ушло.

— Я? Нет, я ничего не могу сказать. Конечно, оно как-то неловко, что Симон женится тайком, а впрочем, все равно.

— Он стыдится, что берет жену старше себя, — объяснила невеста без заминки.

Невеста понравилась Галактиону своим решительным характером. Именно такую жену и нужно бесхарактерному и податливому Симону. Эта будет держать его в руках.

Когда жених, а потом невеста уехали в моленную, явился Ечкин, весь сиявший румян-

цем и бриллиантами. Увидев шагавшего по пустой гостиной Галактиона, он радостно крикнул:

— Кого я вижу! Вот удружил, что сам догадался приехать! А я нарочно разыскивал тебя по всему городу.

— Не ври ты, пожалуйста, — оборвал его Галактион. — Ты это все устроил потихоньку. Не беспокойся, понимаю, что тебе нужно. Обрабатываешь этого старого дурня?

— Тсс... Ради бога, тише!.. Просто, не могу видеть мертвый капитал, а каждая девушка и молодой человек — именно мертвый капитал.

— Перестань морочить. Одно скажу: ловко. Да, очень ловко.

Пока происходило длинное раскольничье венчание, старик Нагибин заперся в своей собственной моленной и все время молился, откладывая земные поклоны. Он даже прослезился и все шептал: «Слава тебе, господи!»

Из свидетелей запоздал к обряду один Полуянов, но зато он вернулся из моленной первым. Его встретил на крыльце Нагибин, расцеловал и все повторял:

— Слава тебе, господи!

— Что же, дело правильное, Осип Григорьич. И в писании сказано: не хорошо жити единому.

Против общего ожидания скороспелый свадебный стол прошел очень оживленно. Невесту провожали совершенно неизвестные Галактиону раскольничьи девушки, вырядившиеся в старинные парчовые сарафаны, а одна даже была в кокошнике. Старец Анфим за столом попал между Полуяновым и Ечкиным и под столом несколько раз перекрестил «жида». Молодая держала себя очень свободно, просто и смотрела на мужа уже с чувством собственности. Приехавшая к свадебному столу Анна Харитоновна не могла надивиться: давно ли вот эта самая Наташа была такая тихая да застенчивая, а тут откуда прыть взялась. Мужчины скоро подвыпили, и поднялось свадебное галденье. Выпил и сам старик Нагибин. Пошатываясь, он обходил всех гостей, всех целовал и всем повторял одно я то же:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Ечкин сидел рядом с Галактионом и несколько раз толкал его локтем.

— Посмотри на Замараева и Голяшкина: эти два плута далеко пойдут, — шептал он.

— Не дальше тебя, Борис Яковлич.

Галактион все время молчал, находясь под впечатлением давешней сцены с Устенькой. Если б она увидала этот тир благочестивых разбойников! — ведь все разбойники, как одна масть, и невеста разбойница.

Глава 58

Свадьба Симона, как и свадьба Галактиона, закончилась крупным скандалом, хотя и в другом роде. Еще за свадебным столом Замараев несколько раз подталкивал Симона и шептал:

— Ты, смотри, не дай маху. Сейчас же требуй денег с тестя.

— Да неловко как-то, Флегонт Васильич. Как-нибудь потом.

— А ты не будь дураком. Эх, голова — малина! У добрых людей так делается: как ехать к венцу — пожалуйте, миленький тятенька, денежки из рук в руки, а то не поеду. Вот как по-настоящему-то. Сколько по уговору следо-

вает получить?

— Никакого уговора не было. Ведь одна дочь.

Замараев вскипел и обругал молодого:

— Убил ты бобра, Симон... да. Ну, не дурак ли ты после этого, а? Да ведь тебя как бить надо, а?

Симон обиделся и обругал Замараева.

— Да ведь я тебе добра желаю, пень ты березовый! Вот ужо помянешь меня добрым словом.

Молодые должны были ехать на мельницу в Прорыв через два дня. Замараева мучило глупое поведение Симона, и он забегал к нему несколько раз за справками. Эти приставанья начали тревожить Симона. Он потихоньку выпил для храбрости коньяку и решил объясниться со стариком начистоту.

— Тятенька, как, значит, я с женой уезжаю завтра на мельницу, так нам надо, значит... Вообще насчет капиталов.

У Нагибина сейчас же сделалось испуганное лицо, и он, по обыкновению, прикинулся непонимающим в даже глухим.

— Каких капиталов? — переспросил он.

— Ведь у вас, тятенька, одна дочь, и, значит, должны вы ее наградить.

— За что это награждать-то, милый зять?

— Да уж так ведется.

— А, ты вот про что! Ну, это ты даже совсем напрасно. Приданое за дочерью я дал в полной форме, а что касаемо капиталов, так у меня их и у самого-то нет.

Симон опешил и не знал, что ему говорить.

— Нет у меня ничего, — уверял старик. — Вот хоть сейчас образ со стены сниму. Зря про меня болтают. Я-то женился сам на босоножке, только что на себе было, а ты вон капиталов требуешь.

Этим все разговоры и кончились. Симон отправился к Замараеву и передал свой разговор с тестем.

— Врет, все врет! — клялся Замараев всеми святыми. — А ты прямо на горло ему наступи. Эх, горе ты лыковое. Ты его, старого черта, припугни хорошенько. Да нет, у тебя ничего не выйдет. Тоже свадьба называется! Вот что: ведь вы едете в Суслон, и старик туда же притащится? Ну, и я поеду. У нас с Голяшкиным

зуб разыгрался. Мы уж на мельнице выправим настоящую-то свадьбу. И старика прижмем. Скажи прямо: так и так, богоданный тятенька, очень я задолжал Замараеву, и грозит он меня в острог засадить. Вот погляди, как жена-то за тебя уцепится.

Симон чуть не плакал. Он надеялся через женитьбу вырваться с мельницы, а тут выходило так, что нужно было возвращаться туда же со старою «молодой». Получился один срам. Оставалась последняя надежда на Замараева.

Принял участие в деле и Голяшкин, считавший себя до известной степени прикосновенным к делу лицом, как участник. Даже был вызван Полуянов для необходимого совещания.

— Это ведь мы подвели парня, — говорил Голяшкин. — Надо его выручать.

— Трудненько выручать-то, — соображал Полуянов. — Вот ежели бы была устроена рядная запись, или ежели бы я был исправником. Тогда бы я ему показал! Я бы его выворотил на левую сторону!

На этот конгресс попал даже Харитон Ар-

темьич, разыскивавший Полуянова по всему городу. Старик одолевал своего поверенного и успел ему надоесть.

— А, свидетели! — сообразил Харитон Артемьич. — Чужое наследство делите? Ловко вас обзатылил Осип-то Григорьич. Эх вы, горькие!

— Вот видите? — огорчился Голяшкин. — Теперь над нами все будут смеяться.

— Летать любите, а садиться не умеете, — не унимался старик. — То-то. А знаете пословицу: свату первая палка. Наступите на жида: его рук дело.

— И то, братцы! — спохватился Замараев. — Что же это мы дураков валяем?

Полуянов скромно отмахивался, как лицо заинтересованное. Выходило настоящее похмелье в чужом пиру. Да и так он не посоветовал бы посылать Ечкина для переговоров. Как раз он получит деньги, да себе в карман и положит, как было с стеариновой фабрикой. Хороший человек, а деньги показывать нельзя.

— Давайте я схожу к старику, — предлагал Харитон Артемьич.

— Нет, тятенька, вам никак невозможно, — протестовал Замараев. — Известно, какой у вас неукротимый характер. Еще обругаете, а то и врукопашную пойдете.

Пока шли эти конференции, дело разрешилось само собой. Молодая узнала об этих недоразумениях слишком поздно и принялась стыдить мужа.

— Ты это что придумал-то? Ведь я одна дочь у отца, и все мне достанется. Зачем грешить прежде времени? Папаша уж старичок и, того гляди, помрет. Одним словом, пустяки.

Она скрыла от мужа свой разговор с отцом. Дело было довольно крупное.

— Вы, папаша, в самом деле дайте денег, — заявила она отцу. — Не мужу, а мне. Ведь я у вас одна дочь.

— Не дам ни гроша... Помру, тогда все твое. Да и нет у меня денег.

— Да ведь я-то знаю, сколько у вас их везде напрятано. Пожалуйста, не запирайтесь.

— Ну, хорошо. Поезжайте теперь на мельницу с богом, а потом я сам привезу. В банке у меня деньги.

— А не обманете?

— Наташка, прокляну!

— Вы лучше деньги-то дайте, а проклясть всегда успеете.

— Ей-богу, привезу, только поезжайте.

Молодой и самой хотелось до смерти поскорее вырваться из Заполья, и она согласилась. Провожая молодых, Нагибин прослезился и все повторял:

— Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Когда экипаж скрылся из виду, старик хихикнул и даже закрыл рот горстью, точно самые стены могли подслушать его родительскую радость.

Вечером в каморке Нагибина, — старик занимал самую скверную комнату во всем доме, — сидел Ечкин. Миллионер, чтобы отблагодарить благодетеля, вытащил полбутылки мадеры, оставшейся от свадьбы...

— Ведь я не пью, Осип Григорьич.

— Ох, отлично делаешь! — стонал Нагибин. — Ведь за мадеру деньги плачены. И что только мне стоила эта самая Наташка!.. Теперь возьми, — ведь одеть ее надо? Потом один-то я и старых штец похлебаю или редеч-

кой закушу, а ей подавай котлетку... так? Да тут еще свадьбу справляй... Одно разорение. А теперь пусть кормит и одевает муж... Так я говорю?

— Конечно, Осип Григорьич.

— Слава тебе, господи!.. А уж тебя не знаю, чем и благодарить. По гроб жизни не забуду... И в поминанье даже запишу, хоть ты и некрещеный.

— Мне ничего не нужно, Осип Григорьич.

— Вот, вот... Еще первого такого-то человека вижу... да. А я теперь вольный казак. По рукам и по ногам вязала дочь. Ну, много ли мне одному нужно? Слава тебе, господи!

По городу ходила молва, что Ечкин обрабатывает выжившего из ума миллионера, и все с нетерпением ожидали, чем вся эта история разыграется. Уверяли, что Ечкин уже втянул Нагибина в свою концессию и черпает деньги, как из своего кармана. Другие клялись, что крепок Нагибин и ничего из этого не выйдет. Все соглашались только в одном, что очень уж ловко Ечкин поддел старика, высватав дочери молодого жениха. Уж лучше этой штуки и не придумаешь. А приданое, конеч-

но, Ечкин получит за свои труды. В этом тоже никто не сомневался. Из-за чего же он хлопотал да беспокоил себя?

Избавившись от дочери, Нагибин повел жизнь совершенно отшельническую. Из дому он выходил только ранним утром, чтобы сходить за провизией. Его скупость росла, кажется, по часам. Дело дошло до того, что он перестал покупать провизию в лавках, а заходил в обжорный ряд и там на несколько копеек выторговывал себе печенки, вареную баранью голову или самую дешевую соленую рыбу. Даже торговки из обжорного ряда удивлялись отчаянной скупости Нагибина и прозвали его кощеем.

К себе Нагибин не принимал и жил в обществе какой-то глухой старухи кухарки. Соседи видели, как к нему приезжал несколько раз Ечкин, потом приходил Полуянов, и, наконец, видели раз, как рано утром от Нагибина выходил Лиодор. Дальнейшие известия о Нагибине прекратились окончательно. Он перестал показываться даже на улице.

Прошло после свадьбы не больше месяца, как по городу разнеслась страшная весть. На-

гибин скоропостижно умер. Было это вскоре после обеда. Он поел какой-то ухи из соленой рыбы и умер. Когда кухарка вошла в комнату, он лежал на полу уже похолодевший. Догадкам и предположениям не было конца. Всего удивительнее было то, что после миллионера не нашли никаких денег. Имущество было в полной сохранности, замки все целы, а кухарка показывала только одно, что хозяин ел за час до смерти уху.

Судебное следствие ничего не могло выяснить. Осмотр трупа ничего не дал, насильственных знаков на теле не оказалось. Сгоряча врачи решили, что старик отравился рыбным ядом. Но это было опровергнуто доктором Кочетовым, который в «Запольском курьере» напечатал целую статью о том, что рыбный яд заключают в себе только голопокровные рыбы, а Нагибин ел уху из соленой головы максуна, то есть рыбы чешуйчатой. Пришлось сделать вскрытие тела, и анализ внутренностей показал присутствие стрихнина. Этого было достаточно, чтобы сейчас же были арестованы по подозрению Ечкин и Полуянов, а потом Лиодор.

Город ужасно волновался. Ходили упорные слухи, что отравил старика не кто другой, как Ечкин. Весь вопрос заключался только в том, через кого он отравил — видели Полуянова и видели Лиодора. Во всяком случае, все трое были одинаково подозрительны, особенно Ечкин. Ведь он нарочно устроил эту свадьбу, чтоб удалить из дому дочь, потом, что значили его таинственные визиты к Нагибину, наконец, какую роль играл ссыльный Полуянов? Дело запутывалось. Общественное мнение было против Ечкина, отнесшегося к своему аресту совершенно спокойно, как человек, уже подготовившийся к всяким случайностям.

Еще больше смуты внесла приехавшая «молодая». Она рвала и метала, обвиняя настойчиво во всем Ечкина.

— Как же вы можете говорить так уверенно? — удивлялся следователь. — Во всяком случае, дело совершенно темное.

— Некому больше, — с женскою логикой отвечала свидетельница. — Он и меня просватал, чтобы лучше было отравить папашу... Это вам всякий скажет.

Следователя сбивало многое. Во-первых, Ечкин держал себя слишком уж спокойно и слишком с достоинством, как настоящий крупный преступник. Ясно было, что все было устроено через Лиодора, который путался в показаниях и завирался на глазах. Но опять странно, что такой умный и дальновидный человек, как Ечкин, доверит исполнение беспутному и спившемуся Лиодору.

— Я действительно заходил к Нагибину, — показывал Лиодор. — Не было опохмелиться... Ну, а он меня прогнал.

Это было слишком наивно. Загадку представлял собой и Полуянов, как слишком опытный человек, в свое время сам производивший тысячи дознаний и прошедший большую школу. Но он был тоже спокоен, как Ечкин, и следователь приходил в отчаяние. Получалась какая-то оплошная нелепость. В качестве свидетелей были вызваны даже Замараев и Голяшкин, которые испугались больше подсудимых и несли невозможную околесную, так что следователь махнул на них рукой.

— Это мой зятек Замараев стравил Нагиби-

на! — кричал Харитон Артемьич прямо на улице. — Прямо в острог его, подлеца!.. Да и других зятьев тоже! Весь альбом в острог.

Глава 59

Мышников бывал в бубновском доме почти каждый день, что его тяготило, возмущало и заставляло молча негодовать. Мышников, всесильный и заставлявший всех чувствовать свою тяжелую руку, ничего здесь не мог поделать. Так хотела Прасковья Ивановна. Стоило ей прислать безграмотно нацарапанную записку, и он беспрекословно исполнял каждую букву, кажется, даже неистовые грамматические ошибки. Прасковья Ивановна писала: «соводни», «намедни», «делашь», «куфня», «леменация» и т. д. Мышников дошел до того, что был в восторге от такого правописания. Ведь это писала Прасковья Ивановна, а все, что она делала, конечно, хорошо. Одним словом, получалась картина полного рабства. Прасковья Ивановна через Мышникова имела большое влияние в самом банке и открывала и закрывала кредит по своему усмотрению. Мышникова поражало, что она могла предвидеть события. Послед-

ним случаем в этом отношения было обращение Галактиона за помощью к своему врагу, каким был Мышников. У нее было что-то вроде спорта ставить людей в неловкие положения, причем Мышникову доставалось больше всех. Так было и тут.

— Галактион придет к тебе, вот посмотри, — уверяла она.

— Нет, не придет... Не такой человек.

— А я тебе говорю: придет. Ты его ревнуешь по мне?

— Я?.. Нисколько.

— Ведь Галактион умница, и ему можно доверить какой угодно капитал. Ты ему дашь денег?

— Не знаю... гм... как тебе сказать.

— Вот и вышло, что ревнуешь... да. Разве я не знаю, как ты его все время жмешь?.. Одним словом, он придет, и ты дашь ему денег.

И Галактион пришел. Только когда все было кончено, Мышникову пришла проклятая мысль, что не подослала ли его сама же Прасковья Ивановна. От нее всего можно было ожидать.

С одним только не мог Мышников поми-

риться: это с визитами в бубновский дом. Каждый раз, когда он ехал туда, его разбирала самая тупая злость. Ведь все пальцами указывают: вон Мышников покатил к своей сударушке. Затем его коробила мысль о соперничестве с пьяницей доктором. Это было что-то уже окончательно невозможное. Мышников каждый раз испытывал такое чувство, точно он что-то ворует, и притом дрянно ворует. Есть крупные воры и мелкие воришки, — он причислял себя к последней категории. Сколько раз Мышников предлагал Прасковье Ивановне разойтись с мужем и жить с ним по-настоящему.

— Да ты никак с ума сошел? — удивлялась Прасковья Ивановна. — Теперь-то я мужняя жена, а тогда пришей хвост кобыле... Прикащики засмеют.

— Все равно и теперь все знают про наши отношения.

— Болтать болтают, а знать никто ничего не знает... Ведь не про нас одних судачат, а про всех. Сегодня вот ты приехал ко мне, а завтра я могу тебя и не принять... С мужнею-то женой трудно разговаривать, не то

что с своею полюбовницей. Так-то, Павел Степаныч... Хоть и плохой, а все-таки муж.

Последнею штукой Прасковьи Ивановны было то, что она задумала ехать гостить к Харитине, которая жила в Городище и в Заполье не показывала глаз.

— Что-то я стосковалась по ней, — коротко объяснила она Мышникову. — И ты поедешь... Ну, будто пристань посмотреть, — теперь свое дело наполовину. Вот тебе и заделье, а не зря поедешь.

Злейшим враг не придумал бы для Мышникова более неприятного положения. С одной стороны, он давно старался не встречаться с Харитиной, на которую сердился за свое неудачное ухаживанье, затем он подозревал Галактиона в некоторых успехах у Прасковьи Ивановны, — одним словом, как ни поверни, а выходило неудобно и так и этак. И все-таки Мышников поехал, презирая собственное подчинение Прасковье Ивановне. Он придумал только одно — предупредить Штоффа о поездке. Хитрый немец должен был служить в качестве какого-то изолирующего элемента.

Когда Мышников с Прасковьей Ивановной

приехали в Городище, Штофф был уже там. Он сделал вид, что приехал случайно. Хозяева встретили гостей очень радушно, а особенно был весел Галактион. Таким уже давно его не видали. Харитина была бледна и молчалива, но Прасковья Ивановна, несмотря на самое точное исследование, не нашла и следов тех синяков, о которых рассказывали в Заполье. Это даже огорчило гостью, которой хотелось видеть Харитину именно в синяках. Очень бы уж это было хорошо. Прасковья Ивановна не могла забыть, как Харитина отбила у нее Галактиона. Кто знает, может быть, овдовевший Галактион и женился бы на ней, на Прасковье Ивановне?

Харитина в свою очередь отнеслась к гостье с большим подозрением. Неспроста эта мудреная птица прилетела. Но она сделала вид, что ничего не подозревает, и несколько раз принималась обнимать и целовать гостью, а раз подвела гостью к зеркалу и проговорила:

— Посмотри, Паша, какие мы с тобой старые да некрасивые стали... Вот у тебя морщины около глаз, и волос скоро седеть будет. Со-

всем состарились.

— Ты можешь стариться, а я не согласна, — обиделась гостья.

Мужчины были заняты осмотром пристани, складов, баржей и нового парохода «Компания». Галактион увлекся и не замечал, что компаньоны уже порядочно утомились и несколько раз посматривали на часы. Наконец, Штофф не вытерпел:

— Вот что, Галактион... И пристань, и пароход, и амбары — все это отлично, а хорошо и рюмочку водки выпить.

— И закусить кусочком хлеба с маслом, — прибавил Мышников, пародируя любимое выражение Штоффа.

— Да вот что, мы будем обедать прямо на пароходе, — предлагал Галактион. — Через час пары будут готовы.

Все общество отнеслось к этому предложению с большим сочувствием. День был прелестный. Можно проехать вверх по Ключевой верст на сорок, почти до самого Заполья.

Дамы приняли эту затею, хотя и без особенного восторга, но с удовольствием. В самом деле, хорошо прокатиться по реке. «Ком-

пания» была выстроена по-новому — наполовину буксирный и наполовину пассажирский, так что была общая каюта, рубка и кухня.

— Хоть один раз пообедаем за свои денежки, — шепнул Штофф на ухо Мышникову. — Бывают такие обеды.

— Не каркай, немецкая душа! — тоже шепотом ответил Мышников.

Харитина как-то сразу оживилась и бойко принялась собирать все необходимое. Она когда-то умела так мило хлопотать, когда была и молода, и красива, и счастлива. Прасковья Ивановна следила за ней улыбающимися глазами и думала: вот отчаянная эта Харитина, как увидела посторонних мужчин, так и запрыгала брынскою козой.

Мышников тоже наблюдал хозяйку и про себя жалел ее. И похудела она, и подурнела, и какая-то запуганная, и глаза смотрят, как у наказанной только что собаки. Порядочная скотина этот Галактион, если разобрать. Давешнее беспокойство Мышникова относительно неловкости этого визита совершенно улеглось благодаря ловкости Штоффа, умев-

шего занять какое угодно общество. Сделалось даже совсем весело, когда в ожидании парохода мужчины выпили и закусили. Прасковья Ивановна пила вместе с другими рюмку за рюмкой, а Харитина наотрез отказалась.

— Галактиона боишься? — травила ее гостья.

— Никого я не боюсь, а так, не хочется.

— Прежде-то вместе пивали? — не отставала Прасковья Ивановна.

— Мало ли что было прежде.

Харитина даже покраснела и опустила глаза. Она начинала ненавидеть торжествовавшую за ее счет Прасковью Ивановну. В довершение всего выпивший Галактион, — он пил редко и поэтому хмелел быстро, — начал ухаживать за гостьей довольно откровенно.

— А вы все еще молодцом, Прасковья Ивановна, — говорил он немного прилипавшим языком. — А моя Харитина на ободранную кошку скоро будет походить.

— Значит, вы плохо ее бережете, Галактион Михеич.

— Ну, уж это пусть она сама себя бережет.

— Женщина — деликатное существо и тре-

бует самого нежного ухода.

— Что-то как будто не видал таких.

— Уж будто и не видали?

Прасковья Ивановна загадочно улыбнулась.

Штофф в свою очередь наблюдал всех остальных, улыбался и думал: «Нечего сказать, хорошенькие две семейки!» Его больше всего смешило то, как Мышников ревнует свою Прасковью Ивановну. Тоже нашел занятие... Да, видно, правда, что каждый дурак по-своему с ума сходит.

— Ты это чему смеешься? — привязался к нему Мышников.

— Я? А я думаю, что нам недостает только Ечкина и Полуянова.

— Ты глуп, немец.

— Я? Я человек вежливый и давно уступил совершенство другим. По-моему, даже обидно быть совершенным в обществе людей с недостатками... А впрочем, каждый глуп как раз настолько, насколько это нужно.

— Прилично глуп?

— Нужно соблюдать приличия и в уме.

Интересная беседа была прервана появив-

шимся штурманом, который пришел оказать, что пароход готов. Все обрадовались, потому что начинало уже накопляться какое-то скрытое недовольство.

— Ах, как я люблю воду! — повторяла Прасковья Ивановна, с восторгом хлопая ладонями. — Плыть, плыть без конца!

— А еще коньяку желаете выкушать? Я заметил, что вы вообще неравнодушны к жидкостям, — приставал Штофф.

— Отстаньте, невежа!

Прасковья Ивановна находилась в кокетливом настроении и с намерением старалась побесить Мышникова, начинавшего ревновать ее даже к Штоффу. Да, этих мужчин всегда следует немного выдерживать, а то они привыкают к женщинам, как ребенок к своей кукле, которую можно колотить головой о пол и по целым дням забывать где-нибудь под диваном. Живой пример — Харитина.

Поездка на пароходе удалась на редкость. Особенно развеселился Галактион. Он редко пил, а тут разрешил. Обедали на открытой палубе и перебирали текущие новости, среди которых первое место занимала таинствен-

ная смерть Нагибина, связанная самым глупым образом с глупою женитьбой Симона.

— Нет, скажите мне, куда девались деньга? — приставал ко всем подвыпивший Штофф. — Ведь они были... да. И всем это известно... И какая публика подобралась: Ечкин, Полуянов, Лиодор... Ха-ха!.. Лиодор всех путает.

— Я уверен, что Ечкин тут решительно ни при чем, — уверял Мышников. — А Полуянов трус... Лиодор глуп. По-моему, все это устроил кто-нибудь четвертый.

— Ясно одно, что все дело сделано своим человеком, который знал все, а главное — знал, куда старик прятал деньги. Да, нечего сказать, дельце интересное!

Когда все подвыпили, Штофф делал несколько попыток к тостам, но его останавливал Мышников.

— Перестань, Карла... Все равно никто тебе не поверит.

— Ах, да! — соглашался Штофф.

— Ведь все свои, и смешно будет самому слушать свои собственные глупости.

Штофф соглашался, а потом забывал и де-

лал новую попытку разразиться спичем. Это смешило всех. Время вообще летело незаметно, и все удивились, когда штурман пришел сказать, что дальше подниматься вверх по Ключевой опасно. До Заполья оставалось всего верст пятнадцать.

— Э, пустяки! — заявил Галактион. — Я сам поведу пароход.

Его едва уговорили не браться за руль, а предоставить дело штурману, как более знающему и опытному. Этим моментом и воспользовался Штофф.

— Господа, всего два слова на отвлеченную тему... Я хочу сказать о том, что такое герой... да. Вы не смейтесь.

— Герой — это пьяный немец, — вышучивал Мышников.

— Нельзя ли без остроумия, от которого столько же вреда, сколько от жеваной бумаги? Итак, mesdames и messieurs, что такое герой? Герой — не тот завоеватель, который с вооруженным полчищем разоряет беззащитную страну, не тот, кто, по выражению Шекспира, за парами славы готов залезть в жерло орудия, не хитрый дипломат, не модный поэт,

не артист, не ученый со своим последним словом науки, не благодетель человечества на бумаге, — нет, герои этого раэбора покончили свое существование. Другое время, другие птицы и другие песни... Нынешний, настоящий герой не имеет даже имени, история не занесет его в свои скрижали, благодарное потомство не будет чтить его памяти... Сам по себе он даже не интересен и даже лучше его совсем не знать, ибо он весь растворяется в своем деле, он фермент, бродильное начало, та закваска, о которой говорится в писании... да. Одним словом, я говорю о Галактионе.

— Вот так фунт! — ахнул Мышников. — Карла, если бы ты меня возвел в такие герои, я на тебя подал бы жалобу мировому... Галактион, хочешь, я вчиню иск об оскорблении? Свидетели налицо... Все дело поведу на свой риск. Ха-ха!.. Герой оптом... Раньше герои имели значение в розницу, а теперь оптовый герой, беспаспортный.

— Говорите, говорите! — поощряла Прасковья Ивановна. — Это интересно!

— Позвольте мне кончить, господа... Дело не в названии, а в сущности дела. Так я гово-

рю? Поднимаю бокал за того, кто открывает новые пути, кто срывает завесу с народных богатств, кто ведет нас вперед... Я сравнил бы наш банк с громадною паровою машиной, причем роль пара заменяет капитал, а вот этот пароход, на котором мы сейчас плывем, — это только один из приводов, который подчиняется главному двигателю... Гений заключается только в том, чтобы воспользоваться уже готовою силой, а поэтому я предлагаю тост за...

Штоффу сегодня было суждено не кончить. В самый интересный момент, когда уже стаканы были подняты, с капитанского мостика раздался голос штурмана:

— Галактион Михеич, пожар!

Все поднялись разом. Где пожар? Что случилось? Всех больше перепугался Штофф, — перепугался до того, что готов был броситься в воду. Скоро дело разъяснилось: пожар был впереди, в той стороне, где чуть брезжило Заполье.

— Заполье горит! — вырвалось у всех.

Галактион сам стал у штурвала, чтобы проехать как можно дальше. Ненагруженный па-

роход сидел всего на четырех четвертях, а воды в Ключевой благодаря ненастью в горах было достаточно. Но не прошло и четверти часа, как на одном повороте «Компания» врезалась в мель.

— Ну, теперь кончено! — ахнул Штофф. — Господи, всего-то оставалось верст двенадцать!.. Батюшки, что же мы будем делать?.. Посмотрите, господа, ведь это наша Московская улица горит!

По прямой линии до Заполья было всего верст шесть. С капитанской рубки картина пожарища развертывалась с каждою минутой все шире. Громадные клубы дыма поднимались уже в четырех местах, заволакивая даль грозною багровою пеленой.

— Если бы лошадь... Боже мой, дайте мне лошадь! — орал Штофф, в бессильной ярости бегая по палубе. — Ведь у меня все там осталось.

— Господа, идемте пешком, — предлагал Галактион. — Это будет вдвое скорее, если мы станем подниматься на лодке вверх по течению.

— И я с вами, — заявляла Прасковья Ива-

новна.

— Нет, уж извините, мадам, — резко ответил Штофф. — Куда вы с своими юбками? Вас же придется нести на руках.

Галактион и Мышников были того же мнения.

— Свиньи! — обругала всех Прасковья Ивановна.

Когда мужчины переехали на спасательной лодке на берег и трусцой побежали прямо полями, она еще раз обругала их.

А пожар разливался с каждой минутой все сильнее, и через какой-нибудь час Заполье представляло из себя один сплошной костер.

Глава 60

Пожар начался в городском предместье Требиловке, где засела мещанская голь перекатная. Загорелась какая-то несчастная баня. С бани огонь перекинулся на соседнюю стройку, а потом уже охватил разом целый порядок. Пожарная команда оказалась в неисправности, как и следует быть пожарной команде, — прогресс еще не дошел до нее. Бочки рассохлись, рукава полопались, помпы не желали выкидывать воды, — одним словом, все

как и должно быть. Стоявшая засуха делала из деревянных мещанских построек какую-то подтопку, и огонь захватывал одну улицу за другой. Самое главное неудобство заключалось в том, что нельзя было проехать за водой к Ключевой. Река была на виду, а добраться до нее нельзя. Сделавшие отчаянную попытку бочки пожарного обоза застряли в трясине, да еще на беду сломался ветхий мостик через болото. Получалась картина полной беспомощности.

Когда из Теребиловки перекинуло на главную Московскую улицу, всех охватила настоящая паника. Спасенья не было. Не прошло часа, как город уже был охвачен пламенем. Теперь сразу горело в нескольких местах. В виде отчаянной меры были выпущены даже арестанты из острога. А пожар все разливался. Носились тучи искр, огонь перебрасывало через несколько кварталов, а тут еще поднялся настоящий вихрь, точно ополчилось на беззащитный город само небо. Горел хлебный рынок, горел Гостиный дом, новые магазины, земская управа, женская гимназия, здание Запольского банка. Картина получалась страш-

ная. Большинство домов были деревянные, и притом по амбарам везде хранилась пенька, лен, льняное семя и т. д. Везде по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро, и не было свободного проезда. Одуревшая скотина лезла в огонь. У ворот стояли старики и старухи с образами в руках.

Отдельные сцены производили потрясающее впечатление. Горело десятками лет нажитое добро, горело благосостояние нескольких тысяч семей. И тут же рядом происходили те комедии, когда люди теряют от паники голову. Так, Харитон Артемьич бегал около своего горевшего дома с кипой газетной бумаги в руках — единственное, что он успел захватить.

— Ведь говорил Михей-то Зотыч! — кричал он, накидываясь на встречных.

— Он все говорил!.. Чего наша дума смотрела? Где пожарные? Где подъезд к реке?.. Бить надо… всех надо бить!..

Дом, в котором жил Стабровский, тоже занялся. У подъезда стояла коляска, потом вышли Стабровский с женой и Дидей, но отъезд не состоялся благодаря мисс Дудль. Англичан-

ка схватила горшок с олеандром и опрометью бросилась вдоль по улице. Ее остановил какой-то оборванец, выдернул олеандр и принялся им хлестать несчастную англичанку.

— Разе такое теперь время, штобы цветы таскать?

Стабровский не хотел уезжать без мисс Дудль, и это все расстроило. Около экипажа уже образовалась целая толпа, и слышались угрожающие голоса:

— Поляки подожгли город!.. Видишь, как ловко наклались уезжать! Ребята, не пущай!

Произошло замешательство.

— Папа! стреляй! — крикнула обезумевшая от страха Дидя.

Трудно было предвидеть, чем бы закончилась эта дикая сцена. В такие моменты не рассуждают, и самые выдержанные люди теряют голову. Стабровский по опыту знал, что такое возбужденная толпа. Его чуть не разорвали в клочья, когда он занимался подрядами в Сибири. А тут еще Дидя с своею сумасшедшею фразой... Всех спасла мисс Дудль, которую привели под руки. Она так смешно сопротивлялась, кричала и вообще произвела впечат-

ление. Толпа расступилась, и Стабровский воспользовался этим моментом. Он увел всех во двор, велел затворить сейчас же ворота и огородами вывел всех уже на другую улицу.

— В огонь их надо было бросить! — жалели в оставшейся у ворот толпе. — Видишь, подожгли город, а сами бежать!

Магнату пришлось выбраться из города пешком. Извозчиков не было, и за лошадь с экипажем сейчас не взяли бы горы золота. Важно было уже выбраться из линии огня, а куда — все равно. Когда Стабровские уже были за чертой города, произошла встреча с бежавшими в город Галактионом, Мышниковым и Штоффом. Произошел горячий обмен новостей. Пани Стабровская, истощившая последний запас сил, заявила, что дальше не может идти.

— Спасайтесь вы на пароход, а я умру здесь, — спокойно советовала она.

— Мне все равно не дойти.

— Я сейчас достану лошадь, — вызвался Галактион. — Подождите меня.

Мышников и Штофф задыхались от усталости.

— Тебе я не советую идти в город, — говорил Стабровский едва бежавшему Штоффу. — Народ потерял голову... Как раз и в огонь бросят.

Галактион сдержал слово и через полчаса вернулся в простой крестьянской телеге. Это было уже величайшее счастье. Пани Стабровскую, Дидю и мисс Дудль усадили кое-как, а Стабровский поместился на облучке кучером. Галактион указал, по какому направлению им ехать к пароходу. Через час телега подъезжала уже к Ключевой, с парохода подавали лодку.

— Хорошо то, что хорошо кончается, — заметил Стабровский, соображая все обстоятельства дела.

Пароходные дамы встретили гостей с распростертыми объятиями: они сгорали от нетерпения узнать последние новости.

Когда банковские дельцы вошли в город, все уже было кончено. О каком-нибудь спасении не могло быть и речи. В центральных улицах сосредоточивалось теперь главное пекло. Горели каменные дома.

— Вот это так кусочек хлеба с маслом! —

ворчал Мышников, задыхаясь от далекой ходьбы. — Положим, у меня все имущество застраховано.

— И у меня тоже, — отозвался Штофф. — Интересно, выдержат ли наши патентованные несгораемые шкафы в банке... Меня это всего больше занимает. Ведь все равно когда-нибудь мы должны были сгореть.

Это хладнокровие возмутило даже Мышникова. Кстати, патентованные несгораемые шкафы не выдержали опыта, и в них все сгорело. Зато Вахрушка спас свои капиталы и какую-то дрянь, спрятав все в печке. Это, кажется, был единственный поучительный результат всего запольского пожара, и находчивость банковского швейцара долго служила темой для разговоров.

Единственный человек, который не тревожился, ничего не спасал и ничего не боялся, это был доктор Кочетов. Когда к нему в кабинет вбежала горничная с известием о пожаре, он даже не шевельнулся на своем диване, а только махнул рукой. Пожар? Что такое пожар? Он, Кочетов, уже давно сжигал самого себя на медленном огне... За последние дни

галлюцинации приняли обостренную форму, и он все время страшно мучился, переживая свои превращения в Бубнова. Боже, как это было и тяжело, и страшно, и безвыходно!.. Пожар? Что такое пожар? У него уже давно разливался этот пожар в крови и в мозгу: это действительно страшно, потому что от такого пожара никуда не убежишь. И потом, как мог убежать Кочетов, когда на дороге мог превратиться в Бубнова?

— Доктор, уходите! — умоляли его прибежавшие из магазина приказчики.

— Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь.

И горничная и приказчики не заметили, что с ними говорил не доктор Кочетов, а пьяница Бубнов. Доктор Кочетов мог только смеяться над этою мистификацией. Впрочем, о нем скоро забыли. Он стоял у открытого окна и любовался пожаром. Ведь это очень красиво, когда такая масса огня... Огонь — очищающее начало. Вон уже загораются соседние дома... Тоже очень не дурно. Становилось жарко. В окна врывалась струя едкого дыма, а доктор все стоял, любовался и дико хохотал, когда пламя охватило его собственный дом.

Он хохотал потому, что теперь для него сделалось все совершенно ясно. Да, именно ясно, ясно как день... Стоя у окна, он несколько раз превращался в Бубнова, и этот Бубнов ужасно трусил, трусил до смешного, — Бубнову со страху хотелось бежать, выпрыгнуть в окно, молить о помощи.

— Ага, наконец-то ты мне попался, голубчик! — злорадствовал доктор, потирая руки. — Я тебя живого сожгу... Ха-ха!

Бубнов струсил еще больше. Чтобы он не убежал, доктор запер все двери в комнате и опять стал у окна, — из окна-то он его уже не выпустит. А там, на улице, сбежались какие-то странные люди и кричали ему, чтоб он уходил, то есть Бубнов. Это уже было совсем смешно. Глупцы они, только теперь увидели его! Доктор стоял у окна и раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу, как оперный певец.

— Извините, господа, а я не могу его выпустить.

Потом ему пришла уже совсем смешная мысль. Он расхохотался до слез. Эти люди, которые бегают под окном по улице и стучат во

все двери, чтобы выпустить Бубнова, не знают, что стоило им крикнуть всего одну фразу: «Прасковья Ивановна требует!» — и Бубнов бы вылетел. О, она все может!.. да!

— Ага, голубчик, попался! — хохотал доктор, продолжая раскланиваться с публикой. — Я очень рад с тобой покончить... Ты ведь мне, говоря правду, порядочно надоел.

Сумасшедший сгорел живым.

Эпилог

Скитские старцы ехали уже второй день. Сани были устроены для езды в лес, некованные, без отводов, узкие и на высоких копыльях. Когда выехали на настоящую твердую дорогу, по которой заводские углепоставщики возили из куреней на заводы уголь, эти лесные сани начали катиться, как по маслу, и несколько раз перевертывались. Сконфуженная лошадь останавливалась и точно с укором смотрела на валявшихся по дороге седоков.

— Эх, Анфим, не умеешь ты править!

— А ты сам попробуй, Михей Зотыч, родимый мой.

— И попробую... Ты, значит, садись в самый зад, а я на облучок. Ну, вот так...

— Стой!.. Вывалишь!.. Держи правее!..

Сани раскатывались, и крушение повторялось. Скитские старцы даже повздорили из-за этого обстоятельства и напрасно менялись местами, показывая свое искусство.

Дело дошло чуть не до драки, когда в одном ложке при спуске с горы сани перевернулись на всем раскате вверх полозьями, так что сидевший назади Михей Зотыч редькой улетел прямо в снег, а правивший лошадью Анфим протащился, запутавшись в вожжах, сажен пять на собственном чреве.

— Ведь я тебе говорил: держи право! — кричал озлобившийся Михей Зотыч, с трудом вылезая из снега.

— Ну, говорил?.. Я и держу, а сани влево и отнесло...

— Держу, держу! — передразнил его Михей Зотыч. — Худая ты баба, вот что... Тебе кануны по упокойникам говорить, а не на конях ездить.

— И ты хорош, заводский варнак! — вскипел Анфим. — Сколько разов-то вывалил сам?

Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала... Сам ты баба!..

— Нет, ты... Я говорю: держи право! А ты...

Скитники стояли посреди дороги, размахивая руками, старались перекричать друг друга и совсем не заметили, как с горки спустились пустые угольные коробья, из которых выглядывали черные от угольной пыли лица углевозов.

— Запали его в уху, дедко! — крикнула одна черная рожа.

— Ну, вали, другой, дедко!.. Эк, орут, точно черти над кашей!

Первым опомнился Анфим и даже испугался, когда, наконец, заметил черные рожи углевозов, — настоящий чертов поезд. Он сердито отплюнулся, а потом перекрестился.

— Ох, наваждение, Михей Зотыч! — виновато бормотал он. — Прости, родимый, на скором слове...

— Бог тебя простит... А только ты все-таки вправо должен был держать... да.

Старики уселись и поехали. Михей Зотыч продолжал ворчать, а старец Анфим только встряхивал головой и вздыхал. Когда поезд

углевозов скрылся из виду, он остановил лошадь, слез с облучка, подошел к Михею Зотычу, наклонился к его уху и шепотом заговорил:

— И что я тебе скажу, родимый мой...

— Ну, что? — тоже шепотом спрашивал Михей Зотыч, озираясь по сторонам.

— А ты не заметил ничего, родимый мой? Мы-то тут споримся, да перекоряемся, да худые слова выговариваем, а он нас толкает да толкает... Я-то это давно примечаю, а как он швырнул тебя в снег... А тут и сам объявился в прескверном образе... Ты думаешь, это углевозы ехали? Это он ехал с своим сонмом, да еще посмеялся над нами... Любо ему, как скитники вздорят.

Для Михея Зотыча все сделалось ясно. Он тоже вылез из саней и бухнул в ноги Анфиму.

— Прости, отче, на скором слове...

— Бог тебя простит, Михей Зотыч...

Оглядевшись, Анфим подмигнул и проговорил опять шепотом:

— Пусть он теперь поликует, всескверный льстец... То-то давеча я замечаю, что держу вправо, а сани относит влево. А это он своей

мерзкой лапой уцепит и тащит...

— А я слышал, как он когтем царапал, — шепотом же сообщал Михей Зотыч, — в том роде, как пес в двери скребется...

— Вот, вот... Посмеялся он над нами, потому его время настало. Ох, горе душам нашим!.. Покуда лесом ехали, по снегу, так он не смел коснуться, а как выехали на дорогу, и начал приставать... Он теперь везде по дорогам шляется, — самое любезное для него дело.

Дальше скитники ехали молча и только переглядывались и шептали молитвы, когда на раскатах разносило некованные сани. Они еще вывалились раз пять, но ничего не говорили, а только опасливо озирались по сторонам. В одном месте Анфим больно зашиб руку и только улыбнулся. Ох, не любит антихрист, когда обличают его лестные кознования. Вон как ударил, и прямо по руке, которая творит крестное знамение. На, чувствуй, старец Анфим!

В Кукарский завод скитники приехали только вечером, когда начало стемняться. Время было рассчитано раньше. Они остановились у некоторого доброхота Василия, у ко-

торого изба стояла на самом краю завода. Старец Анфим внимательно осмотрел дымившуюся паром лошадь и только покачал головой. Ведь, кажется, скотина, тварь бессловесная, а и ту не пожалел он, — вон как упарил, точно с возом, милая, шла.

— Знамения въявь творятся, — шепотом сообщил Анфим своему спутнику, когда вошел в избу. — Я лошадь-то рогожкой прикрываю, а она, милая, вся трясется со страху... Тоже чувствует, хоша объяснить и не может по своей бессловесности. Ох, искушение, Михей Зотыч!..

— А ты не малодушествуй... Не то еще увидим. Власть первого зверя царит, имя же ему шестьсот и шестьдесят и шесть... Не одною лошадью он теперь трясет, а всеми потряхивает, как вениками. Стенания и вопль мног в боголюбивых народах, ибо и земля затворилась за наши грехи.

Доброхот Василий поместил гостей в заднюю избу, чтобы никто не видел скитников. Неровен час, и чужой человек навернется, да и бабешки тоже разнести могут.

— Ну что, Васильюшка, как дела? — спра-

шивал Анфим.

— И не говори, отец честной... Глаза бы не глядели. Скотинку теперь распродаем... Не то что скотине, а самим жевать нечего. Пудик ржаной мучки за целковый перешел еще об рождестве, а обещают в два вогнать.

— Ну, вам-то с полугоря: фабрика прокормит.

— Работы сокращают везде по заводам... Везде худо. Уж как только народ дотянет до осени... Бедуют везде, а башкир мрет целыми деревнями. Страсти рассказывают.

— Слышали мы про беду... Не первый год она копилась. Главное — народ ослабел.

Михей Зотыч только слушал и молчал, моргая своими красными веками. За двадцать лет он мало изменился, только сделался ниже. И все такой же бодрый, хотя уж ему было под девяносто. Он по прежнему сосал ржаные корочки и запивал водой. Старец Анфим оставался все таким же черным жуком. Время для скитников точно не существовало.

Разговоры с доброхотом Василием шли далеко за полночь, особенно когда зашла речь о дешевом сибирском хлебе.

— Вся надежда у нас теперь на него, на сибирский хлебушко, — повторил убежденно Василий. — Только бы весны дождаться, когда реки пройдут... Там, сказывают, пудик-то мучки стоит всего-навсе семнадцать копеечек. Вот какое дело, честные отцы!

Скитники на брезгу уже ехали дальше. Свои лесные сани они оставили у доброхота Василия, а у него взамен взяли обыкновенные пошевни, с отводами и подкованными полозьями. Теперь уж на раскатах экипаж не валился набок, и старики переглядывались. Надо полагать, он отстал. Побился-побился и бросил. Впрочем, теперь другие интересы и картины захватывали их. По дороге то и дело попадались пешеходы, истомленные, худые, оборванные, с отупевшим от истомы взглядом. Это брели из голодавших деревень в Кукарский завод.

— Ох, сердяги! — вздыхал Анфим. — Кукарским-то самим есть нечего...

Голодные, очевидно, плохо рассуждали и плелись на заводы в надежде найти какой-нибудь заработок. Большинство — мужики, за которыми по деревням оставались го-

лодавшие семьи. По пословице, голод в мир гнал.

Самое сильное впечатление произвели первые встречи, и скитники роздали все свои скитские подорожники. Дальше и помотать было нечем... Скитские старцы не представляли себе по чужим рассказам бедствие в таких размерах. Из деревень брела настоящая рабочая сила. Сердце поворачивалось смотреть на этих мужиков, которые не ели по два, по три дня. Молчаливые муки написаны были на лицах, светились лихорадочным светом в глазах, и каждое движение точно было связано этою голодною мукой. В одном месте прямо на снегу лежал пластом молодой мужик, выбившийся из сил. Скитники ехали и не могли ничем помочь.

В другом месте скитники встретили еще более ужасную картину. На дороге сидели двое башкир и прямо выли от голодных колик. Страшно было смотреть на их искаженные лица, на дикие глаза. Один погнался за проезжавшими мимо пошевнями на четвереньках, как дикий зверь, — не было сил подняться на ноги. Старец Анфим струсил и по-

гнал лошадь. Михей Зотыч закрыл глаза и молился вслух.

— Что же это такое? — спрашивал Анфим. — Последние времена настали, Михей Зотыч...

— И давно настали... Хлебушко извели на винище, а он отрыгнул железом, ситцами, самоварами да блондами.

— А как ты полагаешь насчет орды? Ведь тоже живая душа...

— Голод-то всех сравнял... Он всех донимает, и все равны перед его лицом.

Самую ужасную картину представляла башкирская деревня, — первая станция по заводскому тракту. Башкирия прилегала к горам, а русские поселения уже шли дальше. Башкиры голодали и вымирали каждую зиму, так сказать, нормальным образом, а теперь получалось нечто ужасное. Половина башкирских изб пустовала, — хозяева или вымерли, или разбрелись куда глаза глядят. Нужно было покормить лошадь на постоялом, и скитники отправились посмотреть. Они в первой же жилой избе натолкнулись на ужасающую картину: на нарах сидела ста-

руха и выла, схватившись за живот; в углу лежала башкирка помоложе, спрятав голову в какое-то тряпье, — несчастная не хотела слышать воя, стонов и плача ползавших по избе голодных ребятишек.

Михей Зотыч побежал на постоялый двор, купил ковригу хлеба и притащил ее в башкирскую избу. Нужно было видеть, как все кинулись на эту ковригу, вырывая куски друг у друга. Люди обезумели от голода и бросались друг на друга, как дикие звери. Михей Зотыч стоял, смотрел и плакал... Слаб человек, немощен, а велика его гордыня.

Возвращаясь на постоялый двор, скитники встретили сельского старосту и пристали к нему с расспросами, чего смотрит начальство.

— Как не смотреть, смотрит начальство, — спокойно ответил башкир. — Больно хорошо смотрит.

— А где у вас обчественный магазин?

— Мало-мало посмотри...

Староста привел стариков к общественному магазину, растворил двери, и скитники отступили в ужасе: в амбаре вместо хлеба сло-

жены были закоченевшие трупы замерзших башкир.

— Это урядник на дороге собирал, — объяснил невозмутимо башкир. — Урядник все смотрит.

Вернувшись на постоялый двор, старец Анфим заявил:

— Ну, Михей Зотыч, поедем-ка мы назад в скиты... Помирать, так помирать честно, у себя дома.

— Как знаешь, честной отец. А я поеду дальше... Мне нельзя.

Анфим только вздохнул и отринул накативший малодушный стих.

Самые ужасные картины голода были именно в «орде». И без того башкиры вымирают во время зимних голодовок, а тут вымирали вдвойне. Помощи уже ниоткуда не могло быть. Обыкновенно орда по зимам кормилась около русских деревень, а теперь и там ничего не было. Михей Зотыч захватил с собой все свои капиталы и потихоньку творил тайную милостыню. С ним было до пятидесяти тысяч, которые он вез на раздачу своим староверам,

но кругом стояла такая отчаянная нужда, что не было уже своих и чужих, а просто умиравшие с голоду. Денег старик не любил давать, а закупал, где только мог, хлеб и помогал натурой. Да и что значили в такое время какие-нибудь пятьдесят тысяч — капля в море. Море народной беды выступало из берегов.

Скитники по краю Башкирии, прилегавшему к горам, проехали в земли казачьего Оренбургского войска, где своих было достаточно. Михею Зотычу давно хотелось пробраться в этот заветный край, о котором ходила красная молва. Главное — земли было вдоволь, по тридцати десятин на душу, и какой земли — чернозем, как овчина. Особенно на слуху были крепкие степные травы, росшие на солончаках. Всякая скотина отгуливалась здесь, как на ковре. Но первые же станицы поразили скитников своим убожеством, напоминавшим убогую башкирскую городьбу. Казачья лень так и лезла в глаза.

— Ох, ленивы казаченьки! — повторял Михей Зотыч, опытным хозяйским глазом оглядывая всякую мелочь. — Пожалуй, не далеко отстали от башкыр-то.

— Есть ленца, — соглашался Анфим. — Неулежно живут нога за ногу задевают.

В одном месте Михей Зотыч возмутился до глубины души:

— Погляди-ка, Анфим, на казачью работу!

Анфим смотрел кругом на снежную поляну и ничего не понимал.

— Не видишь? — злился Михей Зотыч, останавливая лошадь.

Он вылез из саней, пошел в сторону и принес несколько сухих дудок, торчавших из-под снега.

— Это как называется?

— У нас дудкой медвежьей зовут.

— А что это обозначает? Ах, Анфим, Анфим! Ничего-то ты не понимаешь, честной отец! Где такая дудка будет расти? На некошенном месте... Значит, трава прошлогодняя осталась — вот тебе и дудка. Кругом скотина от бескормицы дохнет, а казачки некошенную траву оставляют... Ох, бить их некому!

Все станицы походили одна на другую, и везде были одни и те же порядки. Не хватало рук, чтобы управиться с землей, и некому ее было сдавать, — арендная плата была от два-

дцати до пятидесяти копеек за десятину. Прямо смешная цена... Далеко ли податься до башкир, и те вон сдают поблизости от заводов по три рубля десятина. Казачки-то, пожалуй, похуже башкир оказали себя.

Станичники тоже голодали, а главным образом нечем было кормить скотину, которую и продавали за бесценок.

— Ох, вы бы лень-то вашу куда-нибудь продали, — корил Михей Зотыч. — Живете только одним годом, от урожая до урожая. Хоть бы солому-то оставляли скотине... Ведь год на год не приходится, миленькие.

Огорчили станичники Михея Зотыча. Очень уж ленивы и прямо от себя голодают. К вину тоже очень припадошны, — башкиры хоть ленивы, да вина не пьют.

— Ну, тут и смотреть нечего, — решил Михей Зотыч. — Хлеб-то тоже к рукам. Владают городом, а помирают голодом.

Причина казачьей голодовки была налицо: беспросыпная казачья лень, кабаки и какая-то детская беззаботность о завтрашнем дне. Если крестьянин голодает от своих четырех десятин надела, так его и бог простит, а

голодать да морить мором скотину от тридцати — прямо грешно. Конечно, жаль малых ребят да скотину, а ничем не поможешь, — под лежач камень и вода не течет.

Из станиц Михей Зотыч повернул прямо на Ключевую, где уже не был три года. Хорошего и тут мало было. Народ совсем выбился из всякой силы. Около десяти лет уже выпадали недороды, но покрывались то степным хлебом, то сибирским. Своих запасов уже давно не было, и хозяйственное равновесие нарушилось в корне. И тут пшеничники плохо пахали, не хотели удобрять землю и везли на рынок последнее. Всякий рассчитывал перекрыться урожаем, а земля точно затворилась.

— Ручки любит земелька-то матушка! — вздыхал Михей Зотыч. — Черная земелька родит беленький-то хлебец и черных ручек требует... А пшеничники позазнались малым делом. И черному бы хлебцу рады, да и его не родил господь... Ох, миленькие, от себя страждете!.. Лакомство-то свое, видно, подороже всего, а вот господь и нашел.

Эти строгие теоретические рассуждения разлетались прахом при ближайшем знаком-

стве с делом. Конечно, и пшеничники виноваты, а с другой стороны, выдвигалась масса таких причин, которые уже не зависели от пшеничников. Первое дело, своя собственная темнота одолевала, тот душевный глад, о котором говорит писание. Пришли волки в овечьей шкуре и воспользовались мглой... По закону разорили целый край. И как все просто: комар носу не подточит.

В Суслон приехали ночью. Только в одном поповском доме светился огонек. Где-то ревела голодная скотина. Во многих местах солома с крыш была уже снята и ушла на корм. Вот до чего дошло! Веяло от всего зловещею голодною тишиной. Навстречу вышла голодная собака, равнодушно посмотрела на приезжих, понюхала воздух и с голодною зевотой отправилась в свою конуру.

«И пес перед хлебом смиряется», — подумал Михей Зотыч, припоминая старинную поговорку.

Емельян уехал с женой в Заполье, а на мельнице оставался один Симон. В первую минуту старик не узнал сына, — так он изменился за этот короткий срок.

— Ну, здравствуй, сынок.

— Здравствуй, тятенька.

— Вот приехал посмотреть, как вы тут поживаете.

— А ничего... Везде одно и то же.

— Видел, милый, что ничего... Хоть шаром покати... да. Чисто живете, одним словом. Давно мельница-то стоит?

— А с осени... Нечего молоть. Вот ждем сибирского хлеба.

— Ждите, миленькие... Только как бы он мимо рта не проехал. Очень уж вы любите дешевку-то.

Отца Симон принял довольно сухо. Прежнего страха точно и не бывало. Михей Зотыч только жевал губами и не спрашивал, где невестка. Наталья Осиповна видела в окно, как подъехал старик, и нарочно не выходила. Не велико кушанье, — подождет. Михей Зотыч сейчас же сообразил, что Симон находится в полном рабстве у старой жены, и захотел ее проучить.

— Ну, спасибо, сынок, за хлеб-соль, — заявил он, поднимаясь.

— Папаша, куда вы? — спросил Симон. —

Наташа сейчас выйдет.

— Какая Наташа?

— Жена Наташа.

— Ну, и пусть выходит, когда проспится. Прежде-то снохи свекров за ворота выскакивали встречать, а нынче свекоры должны их ждать, как барынь... Нет, это уж не модель, Симон Михеич. Я вот тебе загадку загну: сноху привели и трубу на крышу поставили. Прощай, миленький!

Старик Анфим, распрягавший лошадь, нисколько не удивился, когда пришел Михей Зотыч и велел снова запрягать. Он привык к выходкам ндравного старика. Что же, ехать так ехать.

— Вот как нынче в гости к деткам приезжают, — объяснял Михей Зотыч, выезжая с мельницы. — Пожалуйте почаще мимо-то.

Наталья Осиповна выглядывала на гостей из-за косяка и говорила:

— С богом... Губа толще — брюхо тоньше.

Симон чувствовал себя постоянно виноватым перед женой, а теперь еще больше. Но Наташа не взъелась на него, а только прибавила:

— Будет ломаться-то старым чертям... В чужой век живут. Нет, видно, не прежние времена.

Скитники переночевали у какого-то знакомого Михею Зотычу мужичка. Голод чувствовался и в Суслоне, хотя и в меньшей степени, чем в окрестных деревнях. Зато суслонцев одолевали соседи. Каждое утро под окнами проходили вереницы голодающих. Михей Зотыч сидел все утро у окна, подавал купленный хлеб и считал голодных.

— Ох, боговы работнички, нехорошо! — шамкал он. — Привел господь с ручкой идти под чужими окнами... Вот до чего лакомство-то доводит! Видно, который и богат мужик, да без хлеба — не крестьянин. Так-то, миленькие!.. Ох, нужда-то выучит, как калачи едят!

Старец Анфим молчал всю дорогу, не желая поддаваться бесовскому смущению, а тут накинулся на Михея Зотыча:

— Што это ты дребезжишь, как худой горшок? Чужую беду руками разведу... А того не подумаешь, что кого осудил, тот грех на тебе и взыщется. Умен больно!

— А ежели правда?

— Правда-то ко времю... Тоже вон хлеб не растет по снегу. Так и твоя правда... Видно, мужик-то умен, да мир дурак. Не величайся чужой бедой... Божье тут дело.

Михей Зотыч смущенно умолк. Терпелив был Анфим, а как прорвет — удержу нет.

— Ну, прости на скором слове, честной отец, — покорно проговорил Михей Зотыч.

— Мне-то чего тебя прощать, скрипуна, а вот ты ложкой кормишь, а стеблем глаза колешь.

— Ох, согрешил, честной отец!

Смирения у Михея Зотыча, однако, хватило ненадолго. Он узнал, что в доме попа Макара устраивается «голодная столовая», и отправился туда. Ему все нужно было видеть. Поп Макар сильно постарел и был весь седой. Он два года назад похоронил свою попадью Луковну и точно весь засох с горя. В первую минуту он даже не узнал старого благоприятеля.

— Вы насчет земства? — спрашивал старик Михея Зотыча. — Ах, да что же это я!.. Во-первых, здравствуй, Михей Зотыч, а во-вторых, будь гостем.

— Спасибо, спасибо, батя... Вот зашел проведать тебя. Как вы тут поживаете?

— А плохо, Михей Зотыч. Как попадья померла, так и пошло все вверх дном. Теперь вон голод... При попадье-то о голоде и не слыхивали, а как она померла...

— Сказывают, казна будет кормить?

— Наехали земские... Как же!.. У меня сняли на дворе избу под столовую. Земская барышня приехала, а потом Ермилыч орудует... Он ведь нынче тоже по земству.

«Земской барышней» оказалась Устенька, которая приехала с какими-то молодыми людьми устраивать в Суслоне столовую для голодающих. Мельник Ермилыч в качестве земского гласного помогал. Он уже целое трехлетие «служил» в земстве и лез из кожи, чтобы чем-нибудь выдвинуться. Конечно, он поступал во всем, руководствуясь советами Замараева.

Появление скитского старца в голодной столовой произвело известную сенсацию. Молодые люди приняли Михея Зотыча за голодающего, пока его не узнала Устенька.

— Михей Зотыч, как вы-то сюда попали? —

удивлялась она, здороваясь со стариком.

— А мимо ехал, красавица. Ехал, да и заехал. Эти молодцы-то поповичи будут?

— Нет, студенты. Сами приехали. Вот двое фельдшерами будут, а другие так, помогать.

— Так, так... Дай бог. А я думал, поповичи, потому бойки больно.

Как раз в этот момент подвернулся Ермилыч, одетый уже по-городскому — в «спинжак», в крахмальную сорочку и штаны навыпуск.

— А, Михею Зотычу, сорок одно с кисточкой! — бойко поздоровался он.

— Здравствуй, здравствуй, миленький.

— Завернул поглядеть, как мы будем народ кормить? Все, брат, земство орудует... От казны способие выхлопотали, от партикулярных лиц имеем тоже. Как же!.. Теперь вот здесь будем кормить, а там деньгами.

— Так, так... От денег-то народ и в раззор пошел, а вы ему еще денег суете. От ваших денег и голод.

— Как же это так, Михей Зотыч? — смутился Ермилыч.

— А вот так... Ты подумай-ка своим-то

умом. Жили раньше без денег и не голодали, а как узнали мужички, какие-такие деньги бывают, — ну, и вышел голод. Ну, теперь-то понял?

Ермилыч только чесал в затылке, а Михей Зотыч хлопнул его по плечу и вышел.

Вернувшись домой, Михей Зотыч опять должен был каяться в «скором слове», а честной отец Анфим опять началил его.

— Это он тебя подтыкает на скорые-то слова, Михей Зотыч... Мирское у тебя на уме. А ты думай про себя, что хуже ты всех, — вот ему и нечего будет с тобой делать. А как ты погордился, он и проскочит.

— Не могу я умирить себя. Даве это меня Ермилыч ушиб... Все у них деньги на уме.

— Расширился, оказывают, Ермилыч-то... В рост деньги дает мужикам, а сам все за бесценок скупает. Ему несут со всех сторон, а он берет... Тоже ремесло незавидное. Да еще хвалится: я, грит, всех вас кормлю.

— Не к добру распыхался.

Из Суслона скитники поехали вниз по Ключевой. Михей Зотыч хотел посмотреть,

что делается в богатых селах. Везде было то же уныние, как и в Суслоне. Народ потерял голову. Из-под Заполья вверх по Ключевой быстро шел голодный тиф. По дороге попадались бесцельно бродившие по уезду мужики, — все равно работы нигде не было, а дома сидеть не у чего. Более малодушные уходили из дому, куда глаза глядят, чтобы только не видеть голодавшие семьи.

За Суслоном рассажались по Ключевой такие села, как Роньжа, Заево, Бакланиха. Некоторые избы уже пустовали, — семьи разбрелись, как после пожара. Михей Зотыч купил муки у попа Макара и раздавал фунтами и просто пригоршнями. Бабы так и рвали с причитаньем и плачем.

Когда старцы уже подъезжали к Жулановскому плесу, их нагнал Ермилыч, катившийся на паре своих собственных лошадей. Дорожная кошевка и вся упряжка были сделаны на купеческую руку, а сам Ермилыч сидел в енотовой шубе и бобровой шапке. Он что-то крикнул старикам и махнул рукой, обгоняя их.

— Ко мне заезжайте, старички! — донес-

лось уже издали.

— Ловко катается, — заметил Анфим. — В Суслоне оказывали, что он ездит на своих, а с земства получает прогоны. Чиновник тоже. Теперь с попом Макаром дружит... Тот тоже хорош: хлеба большие тысячи лежат, а он цену выжидает. Злобятся мужички-то на попа-то... И куда, подумаешь, копит, — один, как перст.

— Вот и ты осудил, — поймал его Михей Зотыч. — Хоша он и не наш поп, а все-таки на нем сан... Взыск-то с тебя вдвое.

— И то согрешил, Михей Зотыч... Согрешил, родимый. Народ-то болтает, — ну, и я за другими.

— А ты подержи язык-то за зубами. Заедем, што ли, к Ермилычу на мельницу? Надо на него поглядеть дома-то.

— И то завернем. Коня хоть покормим.

Мельница Ермилыча была уже в виду, когда навстречу скитникам попал скакавший без шапки мужик.

— Ох, не ладно, родимые! — крикнул он на скаку. — В Суслон... в волость... Ох, не ладно!

Подъезжая уже к самой мельнице, скитни-

ки заметили медленно расходившуюся толпу. У крыльца дома стояла взмыленная пара, а сам Ермилыч лежал на снегу, раскинув руки. Снег был утоптан и покрыт кровяными пятнами.

— Ох, не ладно! — повторил Анфим слова скакавшего мужика.

Остановив сани, скитники подошли к убитому, который еще хрипел. Вся голова у него была залита кровью, а один глаз выскочил из орбиты. Картина была ужасная. На крыльце дома показался кучер и начал делать скитникам какие-то таинственные знаки. Начинавшая расходиться толпа опять повернула к месту убийства.

— Уезжайте подобру-поздорову! — уже крикнул кучер. — Расстервенился народ.

— Ну, нас-то это не касаемо, — спокойно ответил Михей Зотыч. — Кто сделал, тот и ответ даст.

Толпа все надвигалась. Послышался чей-то одинокий голос:

— Ребята, да ведь это старичонко с Прорыва!

— Он!.. Братцы, это Колобов!.. Он первую

крупчатку поставил и всех нас разорил. Его работа.

— Он наколдовал, старичонко, голод-то!.. Ишь как ловко присунулся!

Толпа загалдела вся разом и двинулась к Мельникову дому. Задние подталкивали передник. Анфим забрался в сани и умолял Михея Зотыча уезжать.

— Не боюсь я дурачков! — спокойно ответил упрямый старик.

Толпа продолжала наступать, и когда передние окружили Михея Зотыча, Анфим не вытерпел и понукнул лошадь. Кто-то хотел загородить ему дорогу, кто-то хватался за поводья, но лошадь была ученая и грудью пробила живую стену. Мелькнули только искаженные злобой лица, сжатые кулаки. Кто-то сдернул с Анфима шапку. Полетела вдогонку толстая палка. Все это случилось так быстро, что Анфим опомнился только за околицей.

Оглянувшись, Анфим так и обомлел. По дороге бежал Михей Зотыч, а за ним с ревом и гиком гналась толпа мужиков. Анфим видел, как Михей Зотыч сбросил на ходу шубу и прибавил шагу, но старость сказывалась, и он на-

чал уставать. Вот уже совсем близко разъяренная, обезумевшая толпа. Анфим даже раскрыл глаза, когда из толпы вылетела пара лошадей Ермилыча, и какой-то мужик, стоя в кошевой на ногах, размахивая вожжами, налетел на Михея Зотыча.

— Господи, прости раба твоего Михея! — взмолился Анфим, погоняя лошадь.

К своему ужасу он слышал, что пара уже гонится за ним. Лошадь устала и плохо прибавляла ходу. Где же одной уйти от пары? Анфим уже слышал приближавшийся топот и, оглянувшись, увидел двух мужиков в кошевке. Они были уже совсем близко и что-то кричали ему. Анфим начал хлестать лошадь вожжами.

— Эй, не гони! Лошадь изведешь! — кричал кто-то сзади.

А топот был все ближе. Вот уже совсем наседают. Даже слышно, как тяжело храпит закормленный коренник.

— Стой!

Анфим продолжал отчаянно хлестать лошадь вожжами, когда кошевка поровнялась с ним.

— Стой, отчаянный! Лошадь изведешь!

Анфим только сейчас узнал голос Михея Зотыча. Да, это был он, цел и невредим. Другой мужик лежал ничком в кошевке и жалобно стонал.

— Вот так погостили! — добродушно смеялся Михей Зотыч, останавливая взмыленных лошадей. — Нечего сказать, ловко!

Лежавший в кошевке кучер продолжал стонать.

— Ох, убили!.. Смертынька моя!

— Ну-ка, покажи, какой тебе гостинец достался? — спокойно говорил Михей Зотыч.

— А плечо у меня... как саданет Гришка Уметов оглоблей.

Михей Зотыч осмотрел ушиб, затекавший багровым пузырем, ощупал, цела ли кость, и решил:

— Ничего, заживет... Твое счастье, что по шубе пришлось, а то остался бы без руки.

Молодой парень кучер сел в кошевке и зарыдал истерически.

— Расстервенились, варнаки!.. Дядя-то Егор с поленом за мной гнался... Это, кричит, змей, а не племянник!.. А тут подвернулся

Гришка Уметов... Ка-ак саданет...

Парень долго не мог успокоиться и время от времени начинал причитать как-то по-бабьи. Собственно, своим спасеньем Михей Зотыч обязан был ему. Когда били Ермилыча, кучер убежал и спрятался, а когда толпа погналась за Михеем Зотычем, он окончательно струсил: убьют старика и за него примутся. В отчаянии он погнал на лошадях за толпой, как-то пробился и, обогнав Михея Зотыча, на всем скаку подхватил его в свою кошевку.

— Кабы не твоя догадка, так лежать бы мне рядышком с Ермилычем, — спокойно соображал Михей Зотыч. — Спасибо, выручил.

Расщедрившись, старик добыл два медных пятака и сунул их за пазуху рыдавшему спасителю.

— На, пригодятся, миленький.

Когда кучер немного успокоился, скитники узнали, как было все дело с Ермилычем.

— Злобились раньше на него наши мужички, — рассказывал кучер, охая и ощупывая ушибленное место. — Давно злобились, потому как он всю округу забрал в лапы, не тем будь помянут покойник... Все у него были в

долгу, как рыба в сети. За его-то денежки, окромя процента, еще отрабатывать приходилось. Даст под заклад два рубля, вычтет вперед проценту в сорок восемь копеек да еще отрабатывай ему в страду. А тут, в голод-то, он и совсем лютовать начал... Что хошь бери, а только не дай с голоду помереть. Напоследях он и удумал штуку... Суслонскому-то попу Макару зазорно самому хлеб в четыредорога продавать, — ну, он через Ермилыча, а Ермилычу опять свой процент с поповского хлеба идет. Мужички-то тошнее того озлобились... Ну, как мы приехали сегодня из Суслона-то, мужички и окружили... «Опять, грят, за поповским хлебом ездил, кровопивец?» Оно бы ничего, ежели бы Ермилыч не выпимши был... Учал он мужичков ругать, а потом выхватил левольверт и учал левольвертом грозить... Тут уж дядя Егор как саданет его стягом... Потом все бросились и давай рвать, как волки. Дыхануть одинова не успел... А дядя Егор расстервенился и на меня. «Одной свиньи, кричит, мясо!» Ну, я и убег в сени. А тут вы, как на грех, подъехали... Я-то обозначал вам, штоб уехали, а вы толчетесь около Ерми-

лыча... Ох, смертынька моя!.. Зря человека порешили. Потом опомнятся, как начальство наедет. Не свой брат... Ох, ущемило у меня в плече, Михей Зотыч!

Опасность налетела так быстро и так быстро пронеслась, что скитники опомнились и пришли в себя только вечером, когда приехали в свою раскольничью деревню и остановились у своих. Анфим всю дорогу оглядывался, ожидая потони, но на их счастье в деревне не нашлось ни одной сытой лошади, чтобы догонять скитников. Михей Зотыч угнетенно молчал и заговорил только, когда улеглись спать.

— Анфим... ты спишь?

— Нет.

— А ведь даве-то был у смерти конец.

— Совсем конец приходил, Михей Зотыч.

Колобов только тут припомнил, как предательски поступил с ним честной отец — бросил на растерзание, а сам угнал.

— Анфим, разе это порядок, чтоб угонять?

— А ежели ты уперся, как пень?

— Трусу ты спраздновал, честной отец... Ах, нехорошо! Кабы не догадливый кучер... Ох, горе душам нашим!

— Борзость свою хотел показать, Михей Зотыч.

Припомнив все обстоятельства, Михей Зотыч только теперь испугался. Старик сел и начал креститься, чувствуя, как его всего трясет. Без покаяния бы помер, как Ермилыч... Видно, за родительские молитвы господь помиловал. И то сказать, от своей смерти не посторонишься.

— Анфим, а ворота заперты?

— Заперты.

— Точно как будто на улице шум?

— Блазнит тебе, Михей Зотыч. Перекрестись да спи.

Михей Зотыч не мог заснуть всю ночь. Ему все слышался шум на улице, топот ног, угрожающие крики, и он опять трясся, как в лихорадке. Раз десять он подкрадывался к окну, припадал ухом и вслушивался. Все было тихо, он крестился и опять напрасно старался заснуть. Еще в первый раз в жизни смерть была так близко, совсем на носу, и он трепетал, несмотря на свои девяносто лет.

— Анфим, ты спишь?

Анфим притворился спящим и ничего не

отвечал.

Потом Михею Зотычу сделалось страшно уже не за себя, а за других, за потемневший разум, за страшное зверство, которое дремлет в каждом человеке. Убитому лучше — раз потерпеть, а убивцы будут всю жизнь казниться и муку мученическую принимать. Хуже всякого зверя человек, когда господь лишит разума.

— Господи, помяни ненавидящие нас!.. Анфим, ты спишь?.. Господи, умири раба твоего Анфима!

В доме Стабровского царило какое-то гнетуще-грустное настроение, хотя по логике вещей и должно было бы быть наоборот. На святках вышла замуж Дидя, и с этим моментом кончились отцовские заботы Стабровского. Жених явился из Польши, откуда его направили бесконечные польские тети. Он даже приходился каким-то отдаленным родственником Стабровскому и приехал, как свой человек. Молодой, красивый инженер ехал в далекую Сибирь с широкими планами обновить мертвую страну разными предприя-

тиями. Тети предупредили Стабровского, что пан Казимир Ярецкий может составить отличную партию для Диди. Старик громко расхохотался над этим предположением. Конечно, Дидя — женщина и в свое время должна пройти свой женский круг, но примириться на каком-то Ярецком... Дидя хотя и не совершенство, но она еще так мало видела людей и легко может сделать ошибку в своем выборе. Вообще эта комбинация не входила в планы Стабровского. Он мечтал завершить образование Диди поездкой за границу, чтобы показать дочери настоящую жизнь и настоящих людей. В сущности Дидя все-таки провинциалка и ничего не знает, а там раскроются новые горизонты и наберется для сравнения новый материал. Но эта предполагаемая поездка все не устраивалась. С одной стороны, свои дела не пускали, а с другой — как-то неловко было оставить больную жену. Тащить ее за границу тоже не приходилось, потому что домашних удобств и привычек ничто не могло ей заменить, никакая заграница, она уже была в таком возрасте, когда тяжелы всякие перемены. Так дело и тянулось из года в год, тем

более что и Дидя была слишком молода.

К молодому пану Казимиру Стабровский отнесся довольно холодно, как относятся к дальним родственникам, а Дидя с первого раза взяла над ним верх и без стеснения вышучивала каждый его шаг. Стабровский успокоился, потому что из такой комбинации, конечно, ничего не могло выйти. Сам по себе пан Казимир был неглуп, держал себя с тактом, хотя в нем и не было того блестящего ума, который выдвигает людей из толпы. Стабровскому казалось, что в молодом пане те же черты вырождения, какие он со страхом замечал в Диде. Впрочем, в данном случае старик уже не доверял самому себе, — в известном возрасте начинает казаться, что прежде было все лучше, а особенно лучше были прежние люди. Это — дань возрасту, результат собственного истощения.

По всей вероятности, пан Казимир уехал бы в Сибирь со своими широкими планами, если б его не выручила маленькая случайность. Еще после пожара, когда было уничтожено почти все Заполье, Стабровский начал испытывать какое-то смутное недомоганье.

Какая-то тяжесть в голове, бродячая боль в конечностях, ревматизм в левой руке. Все это перед рождеством разрешилось первым ударом паралича, даже не ударом, а ударцем, как вежливо выразился доктор Кацман.

— Это первое предостережение, доктор, — спокойно заметит Стабровский, когда пришел в себя. — Зачем себя обманывать?.. Я понимаю, что с таким ударцем можно протянуть еще лет десять — пятнадцать, но все-таки скверно. Песенка спета.

Стабровского приятно поразило то внимание, с каким ухаживала за ним Дидя. Она ходила за ним, как настоящая сиделка. Стабровский не ожидал такой нежности от холодной по натуре дочери и был растроган до глубины души. И потом Дидя делала все так спокойно, уверенно, как совсем взрослая опытная женщина.

Организм у Стабровского был замечательно крепкий, и он быстро оправился. Всякое выздоровление, хотя и относительное, обновляет человека, и Стабровский чувствовал себя необыкновенно хорошо. Именно этим моментом и воспользовалась Дидя. Она как-то вече-

ром читала ему, а потом положила книгу на колени и проговорила своим спокойным тоном, иногда возмущавшим его:

— Папа, ты не любишь Казимира, я это знаю.

— Не то чтобы совсем не люблю, Дидя, а так, вообще... Есть люди особенные, выдающиеся, сильные, которые делают свое время, дают имя целой эпохе, и есть люди средние, почти бесформенные.

— Вот именно к таким средним людям и принадлежит Казимир, папа. Я это понимаю. Ведь эта безличная масса необходима, папа, потому что без нее не было бы и выдающихся людей, в которых, говоря правду, я как-то плохо верю. Как мне кажется, время таинственных принцев и еще более таинственных принцесс прошло.

— Дидя, а иллюзии? Ведь в жизни иллюзия — все... Отними ее — и ничего не останется. Жизнь в том и заключается, что постепенно падает эта способность к иллюзии, падает светлая молодая вера в принцев и принцесс, понижается вообще самый appetitus vitae... Это — печальное достояние нас, стариков, и

мне прямо больно слышать это от тебя. Ты начинаешь с того, чем обыкновенно кончают.

Девушка посмотрела на отца почти с улыбкой сожаления, от которой у него защемило на душе. У него в голове мелькнула первая тень подозрения. Начато не обещало ничего хорошего. Прежде всего его обезоруживало насмешливое спокойствие дочери.

— Ты что-то хочешь сказать мне, Дидя?

— Да.

— Предыдущее служило подготовлением?

— Да.

Наступила неловкая пауза, и Стабровский со страхом посмотрел на дочь. Вот когда началось то, чего он боялся! До сих пор она принадлежала ему, а теперь...

— Дидя, ты влюблена? — тихо спросил он, чувствуя, как весь начинает холодеть.

— Нет.

Она засмеялась. Он облегченно вздохнул. Она наклонилась к нему, поцеловала и проговорила:

— Папа, я неспособна к этому чувству... да. Я знаю, что это бывает и что все девушки мечтают об этом, но, к сожалению, я решительно

не способна к такому чувству. Назови это уродством, но ведь бывают люди глухие, хромые, слепые, вообще калеки. Значит, по аналогии, должны быть и нравственные калеки, у которых недостает самых законных чувств. Как видишь, я совсем не желаю обманывать себя. Ведь я тоже средний человек, папа... У меня ум перевешивает все, и я вперед отравлю всякое чувство.

— А ты не ошибаешься?

— Опять спасительная логика среднего человека, папа... Вместо иллюзии здесь является довольно грустный житейский расчет.

— Дитя, ты меня пугаешь...

— Поговорим, папа, серьезно... Я смотрю на брак как на дело довольно скучное, а для мужчины и совсем тошное. Ведь брак для мужчины — это лишение всех особенных прав, и твои принцы постоянно бунтуют, отравляют жизнь и себе и жене. Для чего мне муж-герой? Мне нужен тот нормальный средний человек, который терпеливо понесет свое семейное иго. У себя дома ведь нет ни героев, ни гениев, ни особенных людей, и в этом, по-моему, секрет того крошечного, угло-

ватого эгоизма, который мы называем семейным счастьем.

Рассудительность Диди тяжело подействовала на Стабровского, — ведь это своего рода холодный и беспринципный разврат. С другой стороны, она совершенно застрахована от обыкновенных женских слабостей, хотя такие сдержанные натуры иногда и кончают очень плохо.

Долго раздумывал Стабровский и так и этак, а главное — о том, что не сегодня-завтра он может умереть и Дидя останется совершенно на произвол судьбы. Конечно, пан Казимир заставляет желать многого, чтобы сделаться приличным совершенством, но все равно другого выбора нет. Старик плохо помнил, как дал свое согласие на этот брак, а через неделю после свадьбы уже проклинал себя. Где у него были глаза? Ведь пан Казимир прежде всего глуп, да еще самонадеянно глуп, а потом он получил взамен ума порядочную дозу самой нехорошей мелкой хитрости, и, наконец, он зол, как маленькое бессильное животное. Стабровский возненавидел зятя и просто не мог выносить его присутствия. В до-

вершение всего Дидя, умненькая, рассудительная и холодная, как маленькая змейка, ничего этого не видела и, кажется, была счастлива, что связала свою жизнь с этим вырождающимся ничтожеством.

Раз у Стабровского с зятем разыгралась довольно крупная сцена. Старика больше всего поразило то, что присутствовавшая при этом Дидя упорно молчала, она была согласна с мужем и только из вежливости не противоречила отцу. Ясно, что произошла перемена подданства. Результатом этой сцены был второй, уже настоящий удар, уложивший Стабровского на три месяца в постель. У него отнялась вся правая половина, скосило лицо и долго не действовал язык. Именно в таком беспомощном состоянии его и застала голодная зима. И было достаточно трех месяцев, чтобы все, что подготовлялось целою жизнью, разом нарушилось. Произошло нечто вроде отложения подданных. Прежде всего распалось соглашение винокуров, и Стабровский перестал получать отступное; потом в банке, видимо, на Стабровском поставили крест и не считали нужным даже отвечать на его письма; нако-

нец, отдельные лица, обязанные ему всем, проявили самую черную неблагодарность. Особенно типичным примером таких отношений был тот, когда Галактион отказался не только платить взятые у Стабровского пятьдесят тысяч, но даже отказался приехать для личных объяснений.

— Зачем я поеду к нему? — удивлялся Галактион с прямолинейностью настоящего мошенника. — Пусть господин Стабровский лучше посчитает, сколько я ему доставил барышей, когда трепался по кабакам...

И другие были не лучше: Штофф, Мышников, свои собственные служащие, и лучше всех, конечно, был зять, ждавший его смерти, как воскресения. О, как теперь всех понимал Стабровский и как понимал то, что вся его жизнь была одною сплошною ошибкой!

Сознание вернулось, но говорить правильно Стабровский не мог. Он подыскивал или забывал слова и говорил совсем не то, что желал. Это доводило его до слез. Все понимать и не иметь возможности все объяснить — что может быть хуже? Болезнь развила в нем страшную подозрительность, — он теперь не

верил даже родной дочери. Из всех окружающих он отдавал предпочтение деревянной мисс Дудль, которая была всегда одинакова, да еще Устеньке, которая приходила навещать его почти каждый день. Девушка приносила с собой неистощимый запас печальных новостей.

— Если бы вы только могли видеть, Болеслав Брониславич! — говорила Устенька со слезами на глазах. — Голодающие дети, голодающие матери, старики, отцы семейств... Развивается голодный тиф.

— Да? — равнодушно удивлялся Стабровский. — И я тоже голоден... А что значит: есть?.. Меня доктора заставляют есть.

В другой раз Стабровский сказал Устеньке:

— Они голодны? Какое счастье!.. Если б я мог быть голодным!

Он даже приподнялся на подушке и со слезами на глазах объяснил свою мысль:

— Я постоянно голоден, но не могу есть... И это даже не голод в собственном смысле, а это... это... это... Ах, я все готов был бы отдать за то, чтобы быть таким голодным, как ваши голодные!.. Я им завидую.

Это был какой-то сумасшедший бред, и Стабровский только по сдержанно-грустному выражению лица Устеньки догадывался, что он говорит что-то невозможное, старался поправиться и окончательно запутывался в собственных словах.

Устенька в отчаянии уходила в комнату мисс Дудль, чтоб отвести душу. Она только теперь в полную меру оценила эту простую, но твердую женщину, которая в каждый данный момент знала, как она должна поступить. Мисс Дудль совсем сжилась с семьей Стабровских и рассчитывала, что, в случае смерти старика, перейдет к Диде, у которой могли быть свои дети. Но получилось другое: деревянную англичанку без всякой причины возненавидел пан Казимир, а Дидя, по своей привычке, и не думала ее защищать.

— Они выгонят меня из дому, как старую водовозную клячу, — спокойно предусматривала события мисс Дудль. — И я не довела бы себя до этого, если бы мне не было жаль мистера Стабровского... Без меня о нем все забудут. Мистер Казимир ждет только его смерти, чтобы получить все деньги... Дидя будет еще

много плакать и тогда вспомнит обо мне.

— Мисс Дудль, если вы почему-нибудь вздумаете — переезжайте прямо ко мне, — предлагала несколько раз Устенька. — Право, мы проживем вместе недурно.

Мисс Дудль каждый раз удивлялась и даже целовала Устеньку. Эти поцелуи походили на прикладывание мраморной плиты. И все-таки мисс Дудль была чудная девушка, и Устенька училась, наблюдая эту выдержанную английскую мисс.

После пожара прошло пять лет, и Заполье выстроилось заново. От старого города осталось очень немного. Показались пустыри, на которых некому было строиться. В общем город получил новенький вид и, пожалуй, был красивее старого. Этот пожар докончил разорение того среднего купечества, которое составляло силу старого города. Повидимому, была и торговля и промышленность, то все это являлось каким-то призраком. Теперь вся жизнь строилась на кредите: дома строили в кредит, промысла в кредит, торговля в кредит. Свободных капиталов не было, как рань-

ше. Пожар разорил даже таких капиталистов, как Евграф Огибенин и старик Луковников. Это были последыши запольского разорения. На их месте возникали новые состояния буквально из ничего, как на растительном перегное растут грибы: во главе стояли банковские воротилы — Мышников, Штофф и Галактион, а из-за их широких спит выдвигались совсем уже темные люди, как бывший писарь Замараев, сладкий братец Прасковьи Ивановны Голяшкин.

Разорение ушло далеко в степь. Киргиз Шахма держался только банком, Сашка Горохов разорился и спился, винокур Прохоров, хотя и держался, но тоже был в худых душах. У банка была какая-то задача систематически разорять всех.

Вскоре после пожара старик Луковников привел в порядок свои дела и пришел к печальному открытию, что он разорен бесповоротно. Все капиталы съела мельница, дававшая в последние годы дефицит около тридцати тысяч рублей, да еще к этому следовало прибавить мертвый капитал, затраченный на нее и не дававший процента, платежи по

банковским ссудам и т. д. Доходные годы не могли покрыть этих дефицитов, а только на время отдаляли неминучую беду. Все дело заключалось только в том, чтобы выиграть время и дождаться, когда какой-нибудь один год даст сотни тысяч дивиденда. Но для этого нужны были новые средства, а кредит уже кончался. Луковникова удивляло больше всего то, что все другие знали его дела, пожалуй, лучше, чем он сам. Это выяснилось особенно точно, когда ему пришлось закладывать мельницу в Запольском банке.

— Мы, собственно, такими операциями не занимаемся, — заявил Штофф, к которому обратился Луковников. — Вам всего лучше обратиться куда-нибудь в другой банк.

— Время дорого, Карл Карлыч.

Тяжело было Луковникову обращаться именно в Запольский банк, где воронил всеми делами Мышников, но делать нечего — нужда загнала. Банковское правление долго тянуло это дело, собирало какие-то справки, и, наконец, состоялось решение выдать под мельницу ссуду в тридцать тысяч рублей.

— Господа, да ведь она мне стоит больше

трехсот тысяч! — взмолился Луковников. — Ведь вы все хорошо это знаете.

— Отчего вы не обратились в другой банк, Тарас Семеныч? — объяснил Драке, по своему обыкновению, вопросом. — Разве мы кому-нибудь даем больше? Вообще вы, значит, недовольны?..

Пришлось помириться на этой сумме, чтобы заткнуть кое-какие кредитные дыры. Кредиторы точно сговорились и наступали на Луковникова все теснее.

Заклад мельницы оттянул окончательное разорение на очень небольшое время. Явился первый протестованный вексель, когда-то выданный еще покойному Нагибину, а это вызвало закрытие банковского кредита и объявление несостоятельности. Назначен был конкурс, и все имущество поступило уже в его ведение. Тяжелее всего Луковникову было то, что ему не пришлось дослужить последнего трехлетия городским головой и выйти даже из состава гласных. Все рушилось как-то разом. Старик в каких-нибудь полгода совершенно поседел, как-то опустился и принял тот недоумевающий вид, как и все другие

«конкурсные». У него теперь явились какие-то необычайные планы, детские расчеты и еще более детские надежды. Главное, что его мучило, это — Устенька, которая из богатой невесты превратилась в нищую. Эта последняя мысль ела старика день и ночь.

— Перестань, пожалуйста, папа, — уговаривала его Устенька. — Не стоит даже и говорить о таких пустяках... Будет день — будет и хлеб.

— Ах, Устенька, Устенька, ничего ты не понимаешь!

— Нет, папа, отлично понимаю. Ну, скажи, пожалуйста, для чего нам много денег: ведь ты два обеда не съешь, а я не надену два платья?.. Потом, много ли богатых людей на свете, да и вопрос, счастливее ли они от своего богатства?

Когда дом и все имущество были описаны, Устенька наняла небольшую квартиру в три комнаты и переехала в нее с отцом и старой нянькой Матреной. Девушка была совершенно счастлива, что может на свои средства содержать отца, — она зарабатывала уже около пятидесяти рублей в месяц, потому что, кро-

ме переводов в «Запольском курьере», занимала еще место секретаря этой газеты. К Луковниковым же переселился в качестве квартиранта и Ечкин, выпущенный из острога «по недостатку улик». Устенька сама предложила ему квартиру, отплачивая ему за то добро, которое он сделал ей, когда определил к Стабровским. Тюремное почти годовое заключение подействовало на Ечкина самым разрушающим образом. Из цветущего и жизнерадостного мужчины он сразу превратился в подержанного джентльмена, точно весь вылинял. Главное, что его погубило, это — невозможность выехать из Заполья. И все из-за дурацкого дела об отравлении Нагибина. Кредиторы заперли его в Заполье, как охотники обкладывают в берлоге дикого зверя, обязав подпиской о невыезде. А что мог сделать Ечкин в этом разоренном городе?

У Ечкина по прежнему роились тысячи планов, он ждал каких-то спасительных сроков, писал без конца кому-то и куда-то бесконечные деловые письма и не думал сдаваться.

— У тебя, как у лисы, тысячи думушек, —

добродушно шутил над ним Луковников. — Оба, брат, мы с тобой, как в сказке лиса, попали банковской бабе на воротник... У банка-то одна думушка!

Устенька очень рада была Ечкину, который развлекал отца и не давал ему задумываться. Они как-то особенно близко сошлись между собой и по вечерам делились своими планами...

— Мне всего две недели подождать, — по секрету сообщал Ечкин, подмигивая, — а там...

— И мне тоже, Борис Яковлич... Всего две недели тоже!

И они ждали свои две недели, как дети. Устенька должна была выслушивать этот бред и соглашаться.

Нагибинское дело остановилось в неопределенном положении. За недостатком улик был выпущен и Полуянов. Выпущенный раньше Лиодор несколько раз являлся к следователю с новыми показаниями, и его опять сажали в острог, пока не оказывалось, что все это ложь. Все внимание следователя сосредоточивалось теперь именно на Лиодоре, кото-

рый казался ему то психически ненормальным человеком, то отчаянным разбойником, смеявшимся над ним в глаза. В последний раз Лиодора к следователю отправил сам Харитон Артемьич.

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, господин следователь второго участка, — заявлял старик. — Сам привел к вам разбойника... Он стравил Нагибина. Уж поверьте родному отцу.

— Действительно я, — равнодушно соглашался Лиодор.

Он даже рассказал целую историю этого отравления, пока следователь не догадался отправить его на испытание в больницу душевнобольных. Отец тоже был ненормален и радовался, как ребенок, что еще раз избавился от сына.

— Туда ему и дорога, разбойнику! — повторял он, крестясь. — Он и меня стравит.

Вообще в Заполье появился целый ряд тронувшихся людей, как Малыгин с сыном, бывший исправник Полуянов и Луковников с Ечкиным. У каждого был свой пунктик.

Разорению Луковникова предшествовала

романическая история Устеньки с Галактионом. Это было что-то нелепое, почти невозможное, если б оно не было на самом деле. Устенька относилась к Галактиону с гадливым презрением и в глаза высказывала, за что его принимает. Но Галактиона это не остановило. Его так и тянуло в дом к Луковникову. Он являлся под всевозможными предлогами, чтобы хоть издали увидеть своего красивого молодого врага. Галактиона охватила самая тяжелая страсть, страсть пожилого человека, терявшего голову. Тут уже не было ни молодых расчетов, ни сдержанности, ни самолюбия. Одно желание охватывало всего человека: видеть ее. Галактион еще до пожара заявил Харитине, что любит Устеньку и женится на ней во что бы то ни стало. Харитина к этому откровенному признанию отнеслась совершенно равнодушно. Она слишком устала жить... Что же, пусть женится, если нравится.

Сама Устенька страшно перепугалась, когда открыла истинную причину частых визитов Галактиона. Он показался ей просто сумасшедшим человеком, и она всячески стара-

лась избегать его. Каждый звонок заставлял ее вздрагивать. В свою редакцию она бежала так скоро, точно кто за ней гнался. И все-таки она часто встречала Галактиона. Он, как мальчишка, по целым часам поджидал ее на улице, бродил по вечерам, как тень, под окнами редакции «Запольского курьера», где она занималась, и был счастлив, когда мог раскланяться с ней хоть издали. Устенька боялась какой-нибудь грубой выходки, открытого нападения, но все дело ограничивалось молчаливым преследованием. Последнее ее успокоивало, и она даже набралась столько храбрости, что раз остановилась на улице, дождалась провожавшего ее издали Галактиона и очень резко заявила ему:

— Вы меня компрометируете, Галактион Михеич... У вас свои взрослые дочери, и, кажется, уж вам-то должно быть стыдно. Я вас презираю.

Галактион только смотрел на нее и молчал. Он весь был в этом взгляде, и его молчание было красноречивее всяких слов. Устенька повернулась и почти бегом бросилась домой. Она не стала пить чай, хотя отец и Ечь-

кин каждый вечер ждали ее возвращения, как было и сегодня, а прошла прямо в свою комнату, заперлась на крючок и бросилась на кровать. Ее душили бессильные слезы. Галактион казался ей каким-то проклятым человеком, который тенью бродил по городским улицам. Ведь он довел до мертвого запоя нелюбимую жену, он разыграл роман с Прасковьей Ивановной, он теперь мучил несчастную Харитину... И все эти женщины за что-то любили этого проклятого человека, ждали его ласкового взгляда, улыбались ему счастливыми улыбками и потом проклинали.

Ночное раздумье привело Устеньку к решению. Она должна была, как это ни тяжело, объясниться с Галактионом. Вообще получалась самая глупая и нелепая история.

Объяснение произошло в квартире Харченки, куда Галактион пришел навестить детей.

— Что вам от меня нужно? — резко спросила девушка.

— Ничего, — виновато ответил Галактион.

— В таком случае, вы понимаете, что ваше преследование меня по пятам — мерзость...

За меня даже заступиться некому, и вы пользуетесь моею беззащитностью. Ко всем хорошим качествам, о которых я вам уже говорила, вы присоединяете новое.

— А если мне тошно, Устинья Тарасовна? Может быть, впору руки на себя наложить.

— Скажите, пожалуйста, вы, должно быть, повторяете это всем женщинам, имевшим неосторожность увлекаться вами? Я не из таких.

Галактион вообще имел такой несчастный вид, что приготовившаяся его разнести девушка немного растерялась. Некого было даже бранить.

— Меня удивляет ваша бессовестность, — говорила она, напрасно стараясь рассердиться. — Да, полная бессовестность.

— Если бы вы меня не ненавидели, Устинья Тарасовна, я давно сделал бы вам предложение.

— Не смейте этого говорить, несчастный!.. Вы годитесь мне в отцы!

— Устинья Тарасовна, когда с вами случится это, тогда вы меня вспомните. Есть такие роковые люди.

После этого откровенного объяснения, происходившего вскоре после пожара, Галактион на время оставил девушку в покое. Но затем он неожиданно явился прямо в дом к Луковникову, когда Устенька была одна.

— Я сейчас уйду, Устинья Тарасовна... Пожалуйста, не бойтесь меня. Я пришел предложить помощь Тарасу Семенычу.

— Я скажу папе, чтоб он просто не принимал вас.

— Но ведь он разорится?

— Это вас не касается.

Галактион молча поклонился и вышел. Это была последняя встреча. И только когда он вышел, Устенька поняла, за что так любили его женщины. В нем была эта покрывающая, широкая мужская ласка, та скрытая сила, которая неудержимо влекла к себе, — таким людям женщины умеют прощать все, потому что только около них чувствуют себя женщинами. Именно такою женщиной и почувствовала себя Устенька.

Первые приступы голода начались еще с осени, когда был съеден первый хлеб. Урожай

был настолько скуден, что в большинстве случаев не собрали семян. Тяжелая крестьянская беда обложила все. Остановилась прежде всего всякая торговля. Купцы сидели в пустых лавках. Промыслы тоже стали. Нигде никакой работы, а впереди целая голодная зима. Продовольственных капиталов совсем не оказалось, считавшиеся на бумаге хлебные магазины стояли пустыми. Положение вообще было вполне безвыходное. Уже с осени, по первым заморозкам, Заполье очутилось в каком-то малом осадном положении. В город со всех сторон брели толпы голодающих, — это был авангард страшной голодной армии. Городское управление решительно не знало, что делать. В городе тоже начинался свой собственный голод, а тут толпы нищих из уезда. Никаких специальных сумм на удовлетворение страшно разгоравшейся беды не было, на частную благотворительность совсем нельзя было рассчитывать, а оставалось одно земство, которое должно было заботиться о своем уезде. «Ступайте в земскую управу», — предлагали голодным. После Луковникова городским головой был избран Мышни-

ков, изображавший собой «маленького губернатора», как вышучивал «Запольский курьер». Новый городской голова принимал всевозможные меры, чтоб оградить свои владения от вторжения голодающих, и ничего не мог поделать.

Запольское земство еще после уборки хлеба раннею осенью представило губернскому земскому собранию подробный доклад о положении дела. Доклад писал Харченко толково и обстоятельно. Требовалась настоятельная правительственная помощь. Экстренное земское собрание решило хлопотать о миллионной ссуде, но это ходатайство было опротестовано губернатором, приславшим своего чиновника особых поручений для расследования дела на месте. Чиновник приехал в Заполье и узнал от Мышникова, что голод придуман «Запольским курьером», а в действительности есть только недород. В этом смысле губернатором и было решено, и ссуда была понижена на семьдесят процентов, а «Запольскому курьеру» сделано соответствующее внушение Мышников острил, называя эту газету «голодной». Наступившая зима показала,

что дело обстоит совсем не смешно и что необходимы энергические меры. Так как нужно было что-нибудь говорить, все толковали о дешевом сибирском хлебе. Только бы дождаться весны, когда вскроются реки. Доверенные крупных уральских хлеботорговцев еще с осени уехали в Сибирь и закупали там громадные партии. Много толковали о тюменских и екатеринбургских купцах, сосредоточивавших все свои силы на сибирском хлебе. В Заполье оставался один крупный мучник, старик Луковников, да и тот как раз уже разорился, и вальцовая мельница, стоившая до четырехсот тысяч, ушла с торгов всего за тридцать. Ее купила компания Замараева, Голяшкина и Ермилыча. Это были дельцы уже новой формации, сменившие старое степенное купечество. Они спекулировали на чужом разорении и быстро шли в гору.

— Не все банку денежки-то огребать, — говорил Замараев. — Надо и протчим народам что-нибудь оставить на зубок.

Со смертью Ермилыча компания осталась из двух, и Замараев высчитал, что наживет на этом тысяч двадцать. Конечно, жаль Ерми-

лыча, хороший был человек, а опять и деньги тридцать тысяч не лишние. Собственно, хлебом Замараев начал заниматься «из-за руки», благодаря Ермилычу, устроившему в Заполье разные хлебные «комиссии». Особенных барышей от этик поручений не было, но и себе не в убыток. Когда начались недороды, Замараев воспользовался случаем и несколько раз надул Ермилыча, утаив львиную долю прибыли. Впрочем, и сам Ермилыч несколько раз обувал Замараева на обе ноги и только глупо хихикал, когда тот начинал ругаться. Эти маленькие недоразумения не мешали большой дружбе, и Замараев искренне жалел безвременно погибшего друга.

— От своей доброты погиб, — говорил Замараев со вздохом. — Конечно, жалел бедноту, — ну, и одолжал, а доброта вон как отрыгнулась.

Свое дело Замараеву окончательно надоело. С грошами приходится возиться и при этом как будто низко. Вон банк обдирает начистоту, и все благородные, потому что много берут, а он, Замараев, точно какой искариот. Все даже пальцами указывают.

— Тоже вот от доброты началось, — вздыхал он. — Небойсь мужички в банк не идут, а у меня точно к явленной иконе народ прет.

Действительно, замараевская касса осаждалась каждое утро целою толпой крестьян. Закладывался настоящий деревенский мужик, тащивший в город самовары, конскую сбрую, полушубки, бабьи сарафаны и вообще свое мужицкое «барахло», как называл Замараев этот отдел закладов. Нужно отдать справедливость, он принимал эти вещи из участия к захватившей деревню бедности, а настоящего коммерческого расчета с барахлом не могло быть. Бывший волостной писарь отлично понимал ту отчаянную деревенскую нужду, которая закладывалась у него последними потрохами. Купеческие и господские денежки легкие, как и пожитки, а тут выбрасывалось мужицкое добро, точно поднималась тяжелая почвенная вода. Особенно негодовала жена Замараева, потому что от этого мужицкого добра «очень уж тяжелый дух по всему дому идет».

— Ничего ты не понимаешь, Анна, — усовещивал ее Замараев. — Конечно, я им благо-

детель и себе в убыток баланс делаю: за тридцать-то шесть процентов в год мне и самому никто не даст двугривенного. А только ведь и на мне крест есть... Понимаешь?

Выпущенный из тюрьмы Полуянов теперь занимался у Замараева в кассе. С ним опять что-то делалось — скучный такой, строгий и ни с кем ни слова. Единственным удовольствием для Полуянова было хождение по церквам. Он и с собой приносил какую-то церковную книгу в старинном кожаном переплете, которую и читал потихоньку от свободности. О судах и законах больше не было и помину, несмотря на отчаянное приставанье Харитона Артемьича, приходившего в кассу почти каждый день, чтобы поругаться с зятем.

— Пора о душе тебе позаботиться, — советовал Полуянов.

— Ну, это уж попы знают... Ихнее дело. А ты, Илья Фирсыч, как переметная сума: сперва продал меня Ечкину, а теперь продаешь Замараеву. За Ечкина в остроге насиделся, а за любезного зятя в самую отдаленную каторгу уйдешь на вечное поселенье... Верно тебе

говорю.

Замараев не обращал внимания на ругань богоданного тятеньки и только время от времени повторял:

— Тятенька любезный, все мы под богом ходим и дадим ответ на страшном пришествии, а вам действительно пора бы насчет души соображать. Другие-то старички вон каждодневно, например, в церковь, а вы, прямо сказать, только сквернословите.

Банковские воротилы были в страшной тревоге, то есть Мышников и Штофф. Они совещались ежедневно, но не могли прийти ни к какому результату. Дело в том, что их компаньон по пароходству Галактион держал себя самым странным образом, и каждую минуту можно было ждать, что он подведет. Сначала Штофф его защищал, а потом, когда Галактион отказался платить Стабровскому, он принужден был молчать и слушать. Даже Мышников, разоривший столько людей и всегда готовый на новые подвиги, — даже Мышников трусил.

— Утопит он нас, вот посмотри! — уверял он Штоффа. — Ведь теперь какой момент —

он сразу вылезет в миллион, а тогда его уж не достанешь.

— Д-да... вообще... Одним словом, черт его знает, что у него на уме. Главное, как-то прячется ото всех.

Недоразумение выходило все из-за того же дешевого сибирского хлеба. Компаньоны рассчитывали сообща закупить партию, перевести ее по вешней воде прямо в Заполье и поставить свою цену. Теперь благодаря пароходству хлебный рынок окончательно был в их руках. Положим, что наличных средств для такой громадной операции у них не было, но ведь можно было покредитоваться в своем банке. Дело было вернее смерти и обещало страшные барыши.

— Тюменские купцы вон уже зафрахтовали пароходы на всю навигацию, — сообщил Штофф. — Хлеб закупили от семнадцати до двадцати трех копеек за пуд, а продавать хотят по два рубля. Это уж бессовестно.

— Конечно, бессовестно... Мы будем продавать по полтора рубля.

— Другими словами, от каждого пуда возьмем полтину убытка. Ну, да уж как быть, надо

послужить миру.

Да, все было рассчитано вперед и даже процент благодеяния на народную нужду, и вдруг прошел слух, что Галактион самостоятельно закупил где-то в Семипалатинской области миллионную партию хлеба, закупил в свою голову и даже не подумал о компаньонах. Новость была ошеломляющая, которая валила с ног все расчеты. Штофф полетел в Городище, чтоб объясниться с Галактионом.

— Это правда? — спрашивал он после некоторых предисловий.

— Да, — коротко ответил Галактион.

— А как же мы-то?

— Вы получите, что причтется на вашу долю за фрахт.

— Ну, это, брат, стара штука!.. Дудки!..

— А контракт? Ведь контракт-то сам Мышников писал: там только и говорится о фрахте, а о совместных закупках товара ничего не сказано, да и капиталов таких нет.

— Капитал мы достанем.

— Об этом раньше надо было подумать, а теперь поздно. Я взял весь фрахт на себя.

— Галактион, есть у тебя совесть? То есть,

тьфу... Какая там совесть! Ведь ты тогда пропал бы, если бы мы тебя не выручили, а теперь что делаешь?

— Вы свой кусок хлеба с маслом и получите. Достаточно вы поломались надо мной, а забыли только одно: пароходы-то все-таки мои... да.

— Послушай, да тебя расстрелять мало!.. На свои деньги веревку куплю, чтобы повесить тебя. Вот так кусочек хлеба с маслом! Проклятый ты человек, вот что. Где деньги взял?

— Это уж мое дело. Ведь я не спрашиваю, где вы деньги берете. Одним словом, нам нечего разговаривать.

Вернувшись в Заполье, Штофф резюмировал Мышникову свое мнение:

— Это... это гениальный мерзавец! Все так предусмотреть... Нет, это, наконец, свинство!

Мышникова больше всего занимал вопрос о том, откуда Галактион мог достать денег. Ведь на худой конец нужно двести — триста тысяч.

— Нет, ты считай! — кричал Штофф, начиная рвать редевшие волосы. — Положим, что

ему обойдется по двадцать пять копеек пуд — миллион пудов, значит, двести пятьдесят тысяч. Хорошо. Фрахт — пятнадцать копеек с пуда, ну, накладных расходов клади десять копеек — итого пятьсот тысяч. Так? Положим, что он даст за двести пятьдесят тысяч процентов из двадцати пяти — итого шестьдесят две с половиной тысячи. Всего, следовательно, он затрачивает сумму в пятьсот шестьдесят тысяч. Так? А выручил полтора миллиона, если пустит хлеб по нашей цене, значит, голенький миллион в кармане. Нет, это черт знает что такое!

Дальше сделалось известным, что Галактион арендовал мельницу отца в Прорыве, потом ведет переговоры относительно вальцовой мельницы Замараева и Голяшкина и что, наконец, предлагал земству доставить хлеб по одному рублю семидесяти копеек. Все Заполье теперь только и говорило о Галактионе. Он сделался героем дня, которого ждали столько лет. Еще ничего подобного не видали в Заполье, и самый банк с его операциями являлся какою-то детскою игрушкой. Слава Галактиона выросла в несколько дней, как сне-

говой ком. Поднялись все аппетиты и тайные вожделения ухватить свою долю. Но дорог был момент: других пароходов не было, и Галактион железною рукой захватил весь хлебный рынок.

Самое скверное было то, что Мышников и Штофф очутились в смешном положении, и все на них указывали пальцами. Ведь они спасли Галактиона, когда он погибал со своими пароходами, а теперь должны были смотреть и ожигаться.

Мышников теперь даже старался не показываться на публике и с горя проводил все время у Прасковьи Ивановны. Он за последние годы сильно растолстел и тянул вместе с ней мадеру. За бутылкой вина он каждый день обсуждал вопрос, откуда Галактион мог взять деньги. Все богатые люди наперечет. Стабровский выучен и не даст, а больше не у кого. Не припрятал ли старик Луковников? Да нет, — не такой человек.

— Решительно негде взять такой суммы! — повторял Мышников, изнывая от желания раскрыть тайну Галактиона. — Ведь уж, кажется, мы-то знаем, у кого и сколько де-

нег... да.

— Умный человек — вот главная причина, — язвила Прасковья Ивановна. — Я всегда это говорила.

— Да ты же и меня тогда подвела дать денег Галактиону на его проклятые пароходы.

— А зачем дурацкий контракт написал?

В довершение всего в «Запольском курьере» появилась анонимная статья «о трех благодетелях». В ней подробно рассказывалась история пароходной компании, а роль Мышникова и Штоффа выставлялась в самом комическом виде. Это была месть Харченки.

Начиная с осени Устенька была завалена работой, особенно когда начали открываться столовые для голодающих и новые врачебные пункты. Немного было местной интеллигенции, но она горячо откликнулась на народное бедствие, особенно молодежь. Рабочие руки были страшно дороги, да и было их немного. Первые опыты с кормлением голодающих производились в Заполье, и скоро выработался определенный тип таких столовых, а по ним уже открывались столовые в

уезде. Нужда была так велика, а средства так ничтожны, да и те с величайшим трудом добывались главным образом из России. В Заполье благотворителем оказался только Стабровский, на средства которого было открыто до двадцати столовых, а остальные богачи очень туго поддавались на просьбы о помощи. Устенька теперь часто бывала у Стабровского, который давал ей средства, не говоря, откуда они.

Чем больше шло время к весне, тем сильнее росла нужда, точно пожар. Раз, когда Устенька вернулась домой из одной поездки по уезду, ее ждала записка Стабровского, кое-как нацарапанная карандашом: «Дорогой друг, заверните сегодня вечером ко мне. Может быть, это вам будет неприятно, но вас непременно желает видеть Харитина. Ей что-то нужно сказать вам, и она нашла самым удобным, чтоб объяснение происходило в моем присутствии. Я советую вам повидаться с ней».

«Что ей нужно от меня? — подумала девушка, испытывая неприятное чувство, — она никогда не любила Харитину. — Ка-

кая-нибудь глупость».

Она сама не пошла бы на это объяснение, если бы не настойчивый совет Стабровского. Старик не будет даром советовать.

Неприятное чувство усиливалось по мере того, как Устенька подходила к дому Стабровского. Что ей за дело до Харитины, и какое могло быть между ними объяснение? У девушки явилась даже малодушная мысль вернуться домой и написать Стабровскому отказ, но она преодолела себя и решительно позвонила.

Харитина сидела в кабинете Стабровского, одетая вся в черное, точно носила по ком-то траур. Исхудавшее бледное лицо все еще носило следы недавней красоты, хотя Устенька в первый момент решительно не узнала прежней Харитины, цветущей, какой-то задорно красивой и вечно веселой. Дамы раскланялись издали. Сам Стабровский был сильно взволнован.

— Вы хорошо сделали, что пришли, — обрадовался он, крепко пожимая руку Устеньке. — Да, хорошо. Ах, что они делают, что делают! Ведь это же ужасно, это бесчеловечно.

Устенька чувствовала на себе упорный и тяжелый взгляд Харитины и плохо понимала, что говорил Стабровский.

— Представьте себе, Устенька, — продолжал старик. — Ведь Галактион получил везде подряды на доставку дешевого сибирского хлеба. Другими словами, он получит сам около четырехсот процентов на затраченный капитал. И еще благодетелем будет считать себя. О, если бы не мая болезнь, — сейчас же полетел бы в Сибирь и привез бы хлеб на плотах!

Харитина молчала, опустив глаза.

— А другие еще хотят больше получить, — как-то стонал Стабровский, тяжело ворочаясь в своем кресле. — Это называется снимать рубашку с нищего... да!

Когда Стабровский немного успокоился, Устенька проговорила, обращаясь к гостье:

— Болеслав Брониславич писал мне, что вы желаете меня видеть.

Харитина вздрогнула и ответила не сразу. Голос у нее был такой слабый, с какою-то странною хрипотой.

— Да. Видите ли, я... то есть я хочу ока-

зать...

Она умоляюще посмотрела кругом своими широко раскрытыми серыми глазами, точно искала какой-то невидимой помощи.

— Я знаю, что вы меня не любите... да, — выговорила она, наконец, делая над собой усилие, — и не пошли бы, если б я сама вас пригласила. А мне так нужно вас видеть.

Стабровский, нахмурившись, рассматривал свои ногти.

— Вы слышали, что сейчас говорили про Галактиона Михеича, а он совсем не такой, то есть не злой.

— Мне это решительно все равно, какой он, — отозвалась Устенька с удивившею ее самое резкостью.

— Может быть, я ошибаюсь, — еще мягче заговорила Харитина, глядя прямо в глаза Устеньке. — Но я совсем ушла оттуда, из Городища... то есть он меня прогнал... да.

— Пожалуйста, увольте меня от этих подробностей. Я решительно не понимаю, к чему вы все это говорите.

— Дело в том... да... в том, что Галактион Михеич... одним словом, мне его жаль. Пропа-

дет он окончательно. Все его теперь бранят, другие завидуют, а он не такой. Вот хоть и это дело, о котором сейчас говорил Болеслав Брониславич. Право, я только не умею всего сказать, как следует.

Наступила неловкая пауза. Стабровский закрыл глаза, стараясь не смотреть на сумасшедшую гостью. Ему казалось, что она ненормальна.

— Я жду, — проговорила Устенька.

Харитина посмотрела на нее и проговорила сдавленным голосом:

— Отчего вы не хотите идти за него замуж? Он был бы другой, поверьте мне... Ведь он сходит с ума вот уже три года.

— Немного странный вопрос, Харитина Харитоновна, — с улыбкой ответила Устенька. — И, право, мне трудно отвечать на него. Мы, кажется, не понимаем друг друга. Просто не желаю. Он мне не нравится.

— Он? Галактион Михеич? — в каком-то ужасе прошептала Харитина.

— Да, Галактион Михеич. Даже больше, чем не нравится. Говоря откровенно, я его презираю... Он по натуре нехороший человек.

— Неправда! — резко проговорила Харитина и даже вся выпрямилась.

— Потом мне странно, что спрашиваете меня именно вы.

— Да ведь я ушла совсем и никогда больше не увижу его.

— И я тоже постараюсь никогда с ним не встречаться.

Устеньке показалось, что Харитина чуть-чуть улыбнулась и посмотрела на нее злыми глазами. Она не верила ей.

— Думаю, что мы достаточно все выяснили, и поэтому кончимте, пожалуйста, — заговорила Устенька, наблюдая Стабровского. — Кажется, довольно оказано.

Харитина поднялась, протянула руку Стабровскому и, простившись с Устенькой поклоном, вышла из кабинета. Благодаря худобе она казалась выше, чем была раньше.

— Это приходило само несчастие, — проговорил Стабровский, глядя на дверь. — А знаете, Устенька, она была дивно хороша вот сейчас, здесь, хороша своим женским героизмом.

— Я таких женщин не понимаю. Кажется, такой бесцельный героизм относится к обла-

сти эстетики, а в действительной жизни он просто неудобен.

— Не говорите. Кстати, я вызвал вас на это свидание вот почему: все равно — она разыскала бы вас, и бог знает, чем все могло кончиться. Я просто боялся за вас. Такие женщины, как Харитина, в таком приподнятом настроении способны на все.

— Что же она могла сделать со мной?

— Мало ли что: облить кислотой, выстрелить из револьвера. Она ревнует вас к этому Галактиону. Заметьте, что она продолжает его любить без ума и дошла до того, что наслаждается собственным унижением. Кстати, она опять сходится с своим мужем.

— С Полуяновым? Это тоже из области дивного героизма?

— Пожалуй, если хотите. Она хочет хоть этим путем подогреть в Галактионе ревнивое чувство. На всякий случай мой совет: вы поберегайтесь этой особы. Чем она ласковее и скромнее, тем могут быть опаснее вспышки.

Стабровский в последнее время часто менял с Устенькой тон. Он то говорил ей ты, как прежде, когда она была ребенком, то перехо-

дил на деловое вы. Когда Устенька уходила, Стабровский пошутил:

— Устенька, смотрите, в самом деле не влюбитесь в Галактиона. В нем действительно есть что-то такое, что нравится женщинам, а сейчас он уже окончательно на геройском положении. Для меня лично, впрочем, он теперь совсем определившийся негодяй.

От Стабровского Устенька вышла в каком-то тумане. Ее сразу оставила эта выдержка. Она шла и краснела, припоминая то, что говорил Стабровский. О, только он один понимал ее и с какою вежливостью старался не дать этого заметить! Но она уже давно научилась читать между строк и понимала больше, чем он думал. В сущности сегодняшнее свидание с Харитиной было ее экзаменом. Стабровский, наконец, убедился в том, чего боялся и за что жалел сейчас ее. Да, только он один будет знать ее девичью тайну.

Вернувшись домой, Устенька заперлась в свою комнату, бросилась на постель и долго плакала. Ум говорил одно, а сердце другое. Получался ошеломлявший ее разлад. Плакала слабая женщина, платившая дань своей сла-

бости. Устенька не умела даже сказать, любит она Галактиона или ненавидит. Но она много думала о нем, особенно в последнее время, и жалела себя. Именно только с таким мужем она могла быть счастливой, если б он не имел за собой тяжелого прошлого и этого ужасного настоящего. Да, это была сила, и сила недюжинная. Для сравнения у Устеньки было сейчас достаточно материала. Хороших людей много, но все они такие бессильные. Все только на языке, в теории, в области никогда не осуществимых хороших чувств. Может быть, и хороши они только потому, что ничего не стоили своим владельцам. Устенька перебирала все свои хлопоты по голодному делу и не могла не прийти к заключению, что все так мало и неумело сделано, ничего не подготовлено, как-то вяло и пассивно. А если бы за это же дело взялся Галактион... о, он один сумел бы прокормить целый уезд, создать работу, найти приложение даром пропадавшим силам и вдохнуть мужскую энергию!

Именно это и понимал Стабровский, понимал в ней ту энергичную сибирскую женщину, которая не удовлетворится одними слова-

ми, которая для дела пожертвует всем и будет своему мужу настоящим другом и помощником. Тут была своя поэзия, — поэзия силы, широкого размаха энергии и неудержимого стремления вперед.

Стоило Устеньке закрыть глаза, как она сейчас видела себя женой Галактиона. Да, именно жена, то, из чего складывается нераздельный организм. О, как хорошо она умела бы любить эту упрямую голову, заполненную такими смелыми планами! Сильная мужская воля направлялась бы любящею женскою рукой, и все делалось бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, по душе. Все по душе, по глубоким внутренним тяготениям к правде, к общенародной совести.

Именно ведь тем и хорош русский человек, что в нем еще живет эта общая совесть и что он не потерял способности стыдиться. Вот с победным шумом грузно работает пароходная машина, впереди движущеюся дорогой развертывается громадная река, точно бесконечная лента к какому-то приводу, зеленеет строгий хвойный лес по берегам, мелькают редкие селения, затерявшиеся на широком

сибирском приволье. Хорошо. Бодро. Светло. Жизнь полна. Это счастье.

И вдруг ничего нет!.. Нет прежде всего любимого человека. И другого полюбить нет сил. Все кончено. Радужный туман светлого утра сгустился в темную грозовую тучу. А любимый человек несет с собой позор и разорение. О, он никогда не узнает ничего и не должен знать, потому что недостоин этого! Есть святые чувства, которых не должна касаться чужая рука.

Харитина не успокоилась и несколько раз приходила к Луковниковым, пока не поймала Устеньку.

— Что вам, наконец, нужно от меня? — рассердилась девушка.

Но с Харитиной трудно было говорить. Она рыдала, ломала руки и вообще сумасшествовала.

— Ради бога, скажите: любите вы его? — приставала Харитина. — Ну, немножечко, чуть-чуть!.. Разве можно его не любить?

— Я не желаю с вами говорить.

— А я вас ненавижу, всю ненавижу! Вы все меня обманываете!

Потом Харитина опять начинала плакать, целовала руки Устеньки и еще больше неистовствовала. Девушка, наконец, собралась с силами и смотрела на нее, как на сумасшедшую.

Разъезжая по уезду, Устенька познакомилась в раскольничьих семьях с совершенно новым для нее типом женщины, — это были так называемые чернички. Они добровольно отказывались от замужества и посвящали свою жизнь обучению детей и разным душеспасительным подвигам. Причин для такого черничества в тяжелом складе народной жизни было достаточно, а на первом плане, конечно, стояло неудовлетворенное личное чувство. Устенька сначала рассматривала этих черничек с любопытством, потом жалела их и, наконец, пришла к убеждению, что ведь и она, Устенька, тоже в своем роде черничка, интеллигентная черничка.

Этим все разрешалось и все делалось ясно. Устенька совершенно определилась, как определился, по словам Стабровского, Галактион.

Вахрушка с раннего утра принимался «за чистоту», то есть все обметал, тер щеткой, наводил лоск суконкой, обдувал и даже в критических случаях облизывал языком. Это было целое священнодействие. Но события последнего времени совершенно лишили его необходимого душевного равновесии, и он уже не испытывал прежнего наслаждения от наведения чистоты. Дело в том, что поместил его в банк на службу Галактион, на которого он молился, а теперь у Галактиона вышли «контры» с Штоффом и самим Мышниковым. Конечно, Вахрушка — маленький человек и ни в чем не был виноват, а все-таки страшно. Вдруг Павел Степаныч скажет: «Ну-ка, ты, такой-сякой, Галактионов ставленник!» У Вахрушки вперед уходила душа в пятки, и он трепетал за свой пост, вероятно, больше, чем какой-нибудь министр или президент. В самом деле, извольте-ка: сделался человеком вполне, и вдруг опять пожалуйте в прежнее ничтожество. Мысленно Вахрушка перебирал все подходящие места и находил одно, что другого места, как банковский швейцар, даже и не бывает.

«Ну что же, поцарствовал, надо и честь знать, — уныло резонировал Вахрушка, чувствуя, как у него даже «чистота» не выходит и орудия наведения этой чистоты сами собой из рук валятся. — Спасибо голубчику Галактиону Михеичу, превознес он меня за родительские молитвы, а вперед уж, что господь пошлет».

Главным образом Вахрушку съедала затаенная алчба: он копил деньги, и чем больше копил, тем жаднее делался.

Именно в одно из таких утр, когда Вахрушка с мрачным видом сидел у себя в швейцарской, к нему заявился Михей Зотыч, одетый странником, каким он его видел в первый раз, когда в Суслоне засадил, по приказанию Замараева, в темную.

— Ну, здравствуй, служба! Каково прыгаешь?

— Ух, как ты меня испугал, Михей Зотыч!

— Видно, грехов накопил, вот и пугаешься всего. Ну что же, денежный грех на богатого. Вот я и зашел тебя проведать, Вахрушка.

— Куда опять наклался-то, Михей Зотыч?

— А дельце есть, милый. Иду на свадьбу:

женится медведь на корове. Ну-ка, угадай?

— Ох, не выкомуривай ты со своими загадками, Михей Зотыч! Как это ты учтешь свои загадки загадывать, так меня даже в пот кинет.

— Не любишь, миленький? Забрался, как мышь под копну с сеном, и шире тебя нет, а того не знаешь, что нет мошны — есть спина. Ну-ка, отгадай другую загадку: стоит голубятня, летят голуби со всех сторон, клюют зерно, а сами худеют.

— Будет тебе, Михей Зотыч. Не хочешь ли чайку?

— Чайку, да табачку, да зелена винца? В самый это мне раз. Уважил, одним словом. Ох, все мы выхлебали в чаю Ваньку голого.

Михей Зотыч любил помудрить над простоватым Вахрушкой и, натешившись вдоволь, заговорил уже по-обыкновенному. Вахрушка знал, что он неспроста пришел, и вперед боялся, как бы не сболтнуть чего лишнего. Очень уж хитер Михей Зотыч, продаст и выкупит на одном слове. Ему бы по-настоящему в банке сидеть да с купцами-банкротами разговаривать.

— Ты, оказывают, нынче по скитам душу спасаешь? — политично завел Вахрушка разговор.

— Около того. Душу-то спасал, а тут вдруг захотел сибирского дешевого хлебца отведать... да. Сынок Галактион Михеич всех, сказывают, удоволил.

— Пригнал первый караваи из Сибири и по рублю семи гривен все продал. Большие тысячи наживает.

— Умный он у меня, Галактион-то. Сердце радуется.

— И точно умный, Михей Зотыч.

Вахрушка припер двери, огляделся и заговорил шепотом:

— Другие-то рвут и мечут, Михей Зотыч, потому как Галактион Михеич свою линию вперед всех вывел. Уж на что умен Мышников, а и у того неустойка вышла супротив Галактиона Михеича. Истинно сказать, министром быть. Деньги теперь прямо лопатой будет огребать, а другие-то поглядывай на него да ожигайся. Можно прямо оказать, что на настоящую точку Галактион Михеич вышли.

— Вот, вот. Все завидуют... да.

Михей Зотыч пожевал губами, поморгал и прибавил:

— Дурачки вы все, Вахрушка.

— Это по какой-такой причине, Михей Зотыч?

— А по такой. Все деньги, везде деньги; все так и прячутся за деньги, а того не понимают, что богача-то с его деньгами убогий своим хлебом кормит.

— Ничего я не понимаю в этих делах, Михей Зотыч. Мы-то на двугривенные считаем.

— Вот и насчитали целый голод.

Михей Зотыч поворчал, поглумился, а потом начал рассказывать про свою поездку из скитов. Вахрушка в такт рассказа только вздыхал и качал головой. Ох, пришла беда всем крещеным, — такая беда, что и не выговоришь!

— Посмотрел я достаточно, — продолжал Михей Зотыч. — Самого чуть не убили на мельнице у Ермилыча. «Ты, — кричат мужики, — разорил нас!» Вот какое дело-то выходит. Озверел народ. Ох, худо, Вахрушка!.. А помочь нечем. Вот вы гордитесь деньгами, а пришла беда, вас и нет. Так-то.

Потом Михей Зотыч принялся ругать мужиков — пшеничников, оренбургских казаков и башкир, — все пропились на самоварах и гибнут от прикачнувшейся легкой копеечки. А главное — работать по-настоящему разучились: помажут сохой — вот и вся пахота. Не удобряют земли, не блюдут скотинку, и все так-то. С одной стороны — легкие деньги, а с другой — своя лень подпирает. Как же тут голоду не быть?

— Ну, это уж ты врешь, Михей Зотыч! — азартно вступился Вахрушка. — И даже понимать по-настоящему не можешь.

— Нно-о?

— Я тебе говорю. Ты вот свой интерес понимаешь в лучшем виде, а мужика не знаешь.

— А вот и знаю!.. Почему, скажи-ка, по ту сторону гор, где и земли хуже, и народ бедный, и аренды большие, — там народ не голодует, а здесь все есть, всего бог надавал, и мужик-пшеничник голодует?.. У вас там Строгановы берут за десятину по восемь рублей аренды, а в казачьих землях десятина стоит всего двадцать копеек.

Старики жестоко расспорились. В Вахрушке проснулся дремавший пахарь, ненавидевший в лице Михея Зотыча эксплуататора-купца. Оба кричали, размахивали руками и говорили друг другу дерзости.

— Ты вот умен, рассчитывал всю крестьянскую беду на грошики, — орал Вахрушка. — Зубы у себя во рту сперва сосчитай... Может, господь милость свою посылает: на, очувствуйся, сообразись, — а ты на счетах хочешь сосчитать эту самую беду. Тут все дело в душе... Понял теперь? Отчего богатая земля перестала родить? Отчего или засуха, или ненастье? Ну-ка, прикинь... Все от души идет. А ты поешь дорогого-то сибирского хлебца, поголодуй, поплачь, повытряси дурь-то, которая накопилась в тебе, и сойдет все, как короста в бане. И тот виноват у тебя и этот виноват, а взять не с кого. Все виноваты, а все от души.

— И орда мрет от души, по-твоему?

— И у орды своя душа и свой ответ... А только настоящего правильного крестьянина ты все-таки не понимаешь. Тебе этого не дано.

Сбитый с позиции Михей Зотыч повернул

на излюбленную скитскую тему о царствующем антихристе, который уловляет прельщенные души любезных своих слуг гладом, но Вахрушка и тут нашелся.

— Это вам про антихриста-то старухи скитницы на печке наврали. Кто его видел?

— Я его видел… то есть не видел, а бежал он за мной, когда я ехал сюда из скитов. За сани хватался.

— Ну, плохой антихрист, который будет по дорогам бегать! К настоящему-то сами все придут и сами поклонятся. На, радуйся, все мы твои, как рыба в неводу… Глад-то будет душевный, а не телесный. Понял?

Увлекшись этим богословским спором, Вахрушка, кажется, еще в первый раз за все время своей службы не видал, как приехал Мышников и прошел в банк. Он опомнился только, когда к банку сломя голову прискакал на извозчике Штофф и, не раздеваясь, полетел наверх.

— Здесь Павел Степаныч?

— Никак нет-с, Карл Карлыч.

— Врешь ты, старое чучело! Негде ему быть.

Через минуту он уже выходил вместе с Мышниковым. Банковские дельцы были ужасно встревожены. Еще через минуту весь банк уже знал, что Стабровский скоропостижно умер от удара. Рассердился на мисс Дудль, которая неловко подала ему какое-то лекарство, раскрыл рот, чтобы сделать ей выговор, и только захрипел.

— Господи, помилуй нас, грешных! — повторял Вахрушка, откладывая широкие кресты. — Хоть и латынского закону был человек, а все-таки крещеная душа.

— Главное, что без покаяния свой конец принял, — задумчиво отвечал Михей Зотыч. — Ох, горе душам нашим!

— Не до тебя, Михей Зотыч, — грубо остановил его Вахрушка. — Шел бы ты своей дорогой, куда наклался.

— И то пора, миленький... Прости на скором слове, ежели што.

— Ну, бог тебя простит, только уходи.

Михей Зотыч вышел на улицу, остановился на тротуаре, посмотрел на новенькое здание банка, покачал головой и проговорил:

— Ничего, крепкая голубятня налажена...

Много следов входящих, а мало исходящих.

Штофф и Мышников боялись не смерти Стабровского, которая не являлась неожиданностью, а его зятя, который мог захватить палии с банковскими делами и бумагами. Больной Стабровский не оставлял банковских дел и занимался ими у себя на дому.

В доме Стабровского происходил ужасный переполох. Банковских дельцов встретила Устенька, заплаканная, жалкая, растерявшаяся. Девушка никак не могла помириться с мыслью, что теперь лежал только холодевший труп Стабровского, не имевший возможности проявить себя ни одним движением. Еще утром человек был жив, что-то рассчитывал, на что-то надеялся, мог радоваться и негодовать, а теперь уже ничего было не нужно. Для Устеньки это была еще первая смерть близкого человека, и она в первый раз переживала все ощущения, которые вызываются такими событиями. Поднялось разом что-то такое огромное, беспощадное, перед которым все были равны по своему ничтожеству. В сущности ведь никто не думает о собственной смерти, великодушно предоставляя уми-

рать другим. В смерти есть неумолимая правда.

В кабинете были только трое: доктор Кацман, напрасно старавшийся привести покойного в чувство, и Дидя с мужем. Устенька вошла за банковскими дельцами и с ужасом услышала, как говорил Штофф, Мышникову:

— Необходимо все опечатать... Папки с банковскими бумагами у него всегда лежали в левом ящике письменного стола, а часть в несгораемом шкафу. Необходимо принять все предосторожности.

Мышников ничего не ответил. Он боялся смерти и теперь находился под впечатлением того, что она была вот здесь. Он даже чувствовал, как у него мурашки идут по спине. Да, она пронеслась здесь, дохнув своим леденящим дыханием.

— Я боюсь, — признался он Штоффу, останавливаясь у дверей кабинета. — Ступай ты один.

Устенька слышала эту фразу и поняла: ведь все чувствовали себя как-то неловко, точно были все виноваты в чем-то.

Пан Казимир отнесся к банковским дель-

цам с высокомерным презрением, сразу изменив прежний тон безличной покорности. Он уже чувствовал себя хозяином. Дидя только повторяла настроение мужа, как живое зеркало. Между прочим, встретив мисс Дудль, она дерзко сказала ей при Устеньке:

— Это вы уморили отца... да. Можете считать с этого дня себя вполне свободной.

Англичанка ничего не ответила, а только чопорно поклонилась. Устеньку возмутила эта сцена до глубины души, но, когда Дидя величественно вышла из комнаты, мисс Дудль объяснила Устеньке с счастливою улыбкой:

— Не нужно обращать внимания на ее выходки... да. Она в таком положении.

— В каком? — не понимала Устенька.

— Она беременна.

Смерть сменялась новою жизнью.

В передней на стуле сидел Ечкин и глухо рыдал, закрыв лицо руками. Около него стояла горничная и тоже плакала, вытирая слезы концом передника.

Стоял уже конец весны. Выпадали совсем жаркие дни, какие бывают только летом. По

дороге из Заполья к Городищу шли три путника, которых издали можно было принять за богомолов. Впереди шла в коротком ситцевом платье Харитина, повязанная по-крестьянски простым бумажным платком. За ней шагали Полуянов и Михей Зотыч. Старик шел бодро, помахивая длинною черемуховою палкой, с какою гонят стада пастухи.

— Слава богу, тепло стоит, — повторял Полуянов, просматривая по сторонам зеленевшие посевы. — И травка и хлебушко растут. Скотина по крайней мере отдохнет.

— Много ли ее осталось, этой скотины? — спрашивал Михей Зотыч. — Которую прикололи и сами съели, а другую пораспродали.

Странники внимательно осматривали каждое поле и оценивали его. Редко где попадалась хорошая пахота, и зерно посеяно кое-какое и кое-как. Не хватало лошадей на настоящую пахоту, да и пахали голодные руки. В большинстве случаев всходы были неровные, островами и плешинами, точно волосы на голове у человека, только что перенесшего жестокий тиф. И трава росла так же, точно не могла собраться с силами. Впрочем, ближе к

реке Ключевой, где разлеглись заливные луга, травы были совсем хорошие. Любо было смотреть на эту зеленую силу; река катилась, точно в зеленой шелковой раме. Дорога была пыльная, и Харитина уже давно устала, но шла через силу, чтобы не задерживать других. Она даже сама не знала, куда они идут. Просто Илья Фирсыч велел идти, и она повиновалась с какою-то ожесточенною покорностью. Ей доставляло теперь какое-то мучительное наслаждение презирать самое себя. Одно слово «муж» чего стоит... И она шла, как овца, которую тащили на бойню. Полуянов изредка презрительно смотрел на нее и сразу подтягивался, точно припоминая что-то. Он ненавидел даже тень, которая колеблющимся и расплывающимся пятном двигалась по дорожной пыли за Харитиной.

— Скоро уж Горохов мыс, — проговорил Михей Зотыч, когда они сделали полпути и Харитина чуть не падала от усталости. — Надо передохнуть малость.

— Важные господа всегда отдыхают, — сурово ответил Полуянов.

Горохов мыс выдавался в Ключевую зеле-

ным языком. Приятно было свернуть с пыльной дороги и брести прямо по зеленой сочной траве, так и обдававшей застоявшимся тяжелым ароматом. Вышли на самый берег и сделали привал. Напротив, через реку, высились обсыпавшиеся красные отвесы крутого берега, под которым проходила старица, то есть главное русло реки.

Харитина упала в траву и лежала без движения, наслаждаясь блаженным покоем. Ей хотелось вечно так лежать, чтобы ничего не знать, не видеть и не слышать. Тяжело было даже думать, — мысли точно сверлили мозг.

— Уж лучше нашей Ключевой, кажется, на всем свете другой реки не сыщешь, — восторгался Михей Зотыч, просматривая плесо из-под руки. — Божья дорожка — сама везет...

Полуянов ничего не ответил, продолжая хмуриться. Видимо, он был не в духе, и присутствие Харитины его раздражало, хотя он сам же потащил ее. Он точно сердился даже на реку, на которую смотрел из-под руки с каким-то озлоблением. Под солнечными лучами гладкое плесо точно горело в огне.

Харитина думала, что старики отдохнут,

закусят и двинутся дальше, но они, по видимому, и не думали уходить. Очевидно, они сошлись здесь по уговору и чего-то ждали. Скоро она поняла все, когда Полуянов сказал всего одно слово, глядя вниз по реке:

— Идет...

Лежавший на траве Михей Зотыч встрепенулся. Харитина взглянула вниз по реке и увидела поднимавшийся кудрявый дымок, который таял в воздухе длинным султаном. Это был пароход... Значит, старики ждали Галактиона. Первым движением Харитины было убежать и куда-нибудь скрыться, но потом она передумала и осталась. Не все ли равно?

Пароход двигался вверх по реке очень медленно, потому что тащил за собой на буксире несколько барок с хлебом. Полуянов сидел неподвижно в прежней позе, скрестив руки на согнутых коленях, а Михей Зотыч нетерпеливо ходил по берегу, размахивал палкой и что-то разговаривал с самим собой.

Пароход приближался. Можно уже было рассмотреть и черную трубу, выкидывавшую черную струю дыма, и разгребавшие воду красные колеса, и три барки, тащившиеся на

буксире. Сибирский хлеб на громадных баржах доходил только до Городища, а здесь его перегружали на небольшие барки. Михея Зотыча беспокоила мысль о том, едет ли на пароходе сам Галактион, что было всего важнее. Он снял даже сапоги, засучил штаны и забрел по колена в воду.

Пароход подходил уже совсем близко. Пароходная прислуга столпилась у борга и глазела на стоявшего в воде старика.

— Эй, стой! — крикнул Михей Зотыч.

— Мы не бере-ем пассажиров! — ответил в рупор кто-то с капитанской рубки.

— Лодку подавай!

У колеса показался сам Галактион, посмотрел в бинокль, узнал отца и застопорил машину. Колеса перестали буравить воду, из трубы вылетел клуб белого пара, от парохода быстро отделилась лодка с матросами.

— Давно бы так-то, — заметил Михей Зотыч, когда лодка ткнулась носом в берег. — Илья Фирсыч, садись...

Матросы узнали Харитину и не знали, что делать, — брать ее или не брать.

— Забирай всех, — приказывал Михей Зо-

тыч. — Слава богу, не чужие люди.

Садясь в лодку, Полуянов оглянулся на берег, где оставалась и зеленая трава и вольная волюшка. Он тряхнул головой, перекрестился и больше ни на что не обращал внимания.

— Вот мы, слава богу, и домой приехали, — говорил Михей Зотыч, карабкаясь по лесенке на пароход. — Хороший домок: сегодня здесь, завтра там.

Галактион протянул руку, чтобы помочь отцу подняться, но старик оттолкнул ее.

— Оставь... Уж я как-нибудь сам взберусь.

Старик, наконец, взобрался и помог подняться Полуянову и Харитине, а потом уже обратился к Галактиону:

— Ну, теперь здравствуй, сынок... Принимай дорогих гостей.

Галактион уже предчувствовал недоброе, но сдержал себя и спокойно проговорил:

— Пожалуйте, папаша, в мою каюту. Там будет прохладнее.

— Нет, уж мы здесь, — протестовал Полуянов, выдвигаясь вперед.

— Ну, говори, — подталкивал его Михей Зотыч.

— Уж так и быть скажу.

— А я вас не желаю здесь слушать, — заявил Галактион.

Все гурьбой пошли в капитанскую каюту, помещавшуюся у правого колеса. Матросы переглядывались. И Михей Зотыч, и Полуянов, и Харитина были известные люди. Каюта была крошечная, так что гости едва разместились.

— Судить тебя пришли, сынок, — заявил Михей Зотыч. — Ну, Илья Фирсыч, ты поперворначалу.

Галактион стоял у двери бледный, как полотно, и старался не смотреть на Харитину.

— И окажу... — громко начал Полуянов, делая жест рукой. — Когда я жил в ссылке, вы, Галактион Михеич, увели к себе мою жену... Потом я вернулся из ссылки, а она продолжала жить. Потом вы ее прогнали... Куда ей деваться? Она и пришла ко мне... Как вы полагаете, приятно это мне было все переносить? Бедный я человек, но месть я затаил-с... Сколько лет питался одною злобой и, можно сказать, жил ею одной. И бедный человек желает мстить.

Полуянов тяжело перевел дух. Галактион продолжал молчать. У него даже губы побелели.

— Но ведь бедному человеку трудно мстить, — продолжал Полуянов. — Это могут позволить себе только люди со средствами... И опять, бедному человеку трудно разбогатеть. И я все думал и даже просил бога... Помните вы, Галактион Михеич, старика Нагибина? Что же я говорю, — вместе тогда на свадьбе у Симона были... да-с... Так вот тогда мне на этой свадьбе и пришла мысль-с... да-с... И я оную мысль воспитал и взлелеял... вот как детей воспитывают: все одно думаю, все одно думаю. Помните, что тогда старик отказал Наталье Осиповне в приданом?.. Она тоже затаила злобу на родителя. Хорошо-с... А старик живучий... Одним словом, мы и отравили его по взаимному соглашению с Натальей Осиповной, то есть отравил-то я, а деньги забрала она и мне вручила за чистую работу некоторую часть. И ловко я все устроил, так ловко, что, кажется, никакие бы следователи в мире не нашли концов. Сам производил дознания и знаю порядок, что и к чему. Тут еще

Лиодор много помог, потому что вконец запутал следователя. Впрочем, что же я вам рассказываю, — ведь вы это и без меня отлично знаете.

— Ничего я не знаю! — резко ответил Галактион. — А вы с ума сошли!

— Нет, не сошел и имею документ, что вы знали все и знали, какие деньги брали от Натальи Осиповны, чтобы сделать закупку дешевого сибирского хлеба. Ведь знали... У меня есть ваше письмо к Наталье Осиповне. И теперь, представьте себе, являюсь я, например, к прокурору, и все как на ладони. Вместе и в остроге будем сидеть, а Харитина будет по два калачика приносить, — один мужу, другой любовнику.

— Ну что, сынок, доволен? — спрашивал Михей Зотыч.

Галактион посмотрел на него и ответил с улыбкой:

— Никогда этого не будет, папаша...

Старик вскочил, посмотрел на сына безумными глазами и, подняв руку с раскольничьим крестом, хрипло крикнул:

— Если ты не боишься суда земного, так

есть суд божий... Ты кровь христианскую пьешь... Люди мрут голодом, а ты с ихнего голода миллионы хочешь наживать... Для того я тебя зародил, вспоил и вскормил?.. Будь же ты от меня навсегда проклят!

Харитина тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. Галактион вздрогнул именно от этого слабого женского крика и сделал движение выйти, а потом повернулся и сказал:

— Харитина Харитоновна, мне нужно сказать вам два слова... Выйдите на минутку.

Когда Харитина подошла к нему, он наклонился к ее уху и прошептал:

— Кланяйся той... Устеньке...

Когда Полуянов выходил из каюты, он видел, как Галактион шел по палубе, а Харитина о чем-то умоляла его и крепко держала за руку. Потом Галактион рванулся от нее и бросился в воду. Отчаянный женский крик покрыл все.

Через час на Гороховом мысу лежал холодный труп Галактиона.

ГОРНОЕ ГНЕЗДО

(Роман)

Вот приедет барин —
Барин нас рассудит...
Некрасов

Конфликт этого романа развертывается вокруг борьбы Евгения Лаптева, владельца большого заводского округа, с управителями заводов. Но истинным конфликтом в романе является борьба рабочих с капиталистами...

Глава 1

— Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!!..

В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезабилье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели; она любила понежиться часов до двенадцати. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем.

Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца; под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило девять часов. Нет, это было невыносимо!.. Раиса Павловна дернула за со-

нетку.

— Ну? — крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.

— Сейчас будут-с.

— Видно, в курятнике своем сидит?

— Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит...

Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.

— Ты чего тут торчишь чучелом гороховым? — сердито оборвала ее взволнованная барыня.

— Когда прикажете подавать одеваться?

— Ах, да... Некогда мне... Принеси пока оренбургский платок.

Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту: желтое, сморщенное лицо, с мешками под глазами, неприятно выкаченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг

глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под пятьдесят лет. «Ведьма... Нет, хуже: старая баба», — думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива, по крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли; все разрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.

— Оставь! — капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку, — Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку. Слышишь?

Прошло мучительных десять минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову: «Генерал Блинов честный человек... С ним едет одна *особа*, которая пользуется безграничным влиянием на генерала; она, *кажется*, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность...»

Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую тремя окнами на главную площадь Кукарского завода, а двумя в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним придавленными линиями поднимались контуры грудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и тысячью дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казен-

ной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и наконец помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внутренней стене, над широким оттоманом, помещались оленьи рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя обстановкой. В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, ка-

ким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся — и не в свою пользу — с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в «штиле» выкупались другими неоцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии Кукарских заводов, можно так: представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев; снизу со всех сто-

рон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводовладельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливцам всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору.

Раиса Павловна, как жена главного управляющего Кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенности Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и

неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч:

«Я уже писал вам, что Евгений Константиныч (заводовладелец) очень сблизился с генералом Блиновым, и не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект — пока неизвестно, но Блинову удалось убедить Евгения Константиныча отправиться нынче же на Урал, а это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответ-

ствующие меры к приезду Евгения Константиныча. От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кой-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношения с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться: продадут... Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь: господь милостив! А вы спросите меня о Прейне, как он? — скажу одно, что по-прежнему, как флюгер, вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно, и следует надеяться, так это на Прейна: с ним Евгений Константиныч никогда не расстанется, а генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам интересно бы узнать, что эта за особа, которая вертит генералом, — разузнавал и пока узнал только то, что она живет с генералом в гражданском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу.

Главное, нужно приготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив бог... С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константиныч и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение двадцати лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константиныч очень были заинтересованы одной балериной и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч».

За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отво-

ренную половинку дверей свою седую, обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.

— Вы... что же это вы делаете со мной?! — с крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.

— Я? — удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломянковое пальто.

— Да, вы... Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно наконец!!..

— Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще десятый час на дворе.

— Вот полюбуйтесь! — сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо. — Вы только и знаете, что свой десятый час...

— От Прохора Сазоныча-с... — в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и сначала рассматривая письмо издали.

— Да читайте... тьфу!.. Точно старая баба с

печи слезает...

Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его, строчка за строчкой. По его оплывшему, жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.

— Ну?..

— Нужно будет с Платоном Васильичем посоветоваться...

— Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили: *я буду советоваться с Платоном Васильичем...* Ха-ха!.. Для этого я вас и звала сюда!.. Если хотите знать, так Платон Васильич не увидит этого письма, как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильич? — дурак и больше ничего... Да говорите же наконец или убирайтесь, откуда пришли! Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что

слово *особа* подчеркнуто?

— Точно так-с.

— Вот меня это и бесит... Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.

— Нет, не будет... Ох, не будет! — каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. — И обо мне есть: «настроены против Сахарова в особенности»... Ничего не разберу!..

— Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да с Прейном — это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?

Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые, жирные плечи.

В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду весело заливалась безыменная птичка; набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сиреней и акаций, врывался в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием вле-

тела в комнату какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.

— Ну?

— Это Тетюев да Майзель механику подводят, — проговорил Родион Антоныч.

— И опять глупо: этакую новость сообщил! Кто же этого не знает... ну, скажите, кто этого не знает? И Вершинину, и Майзелю, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места; даже я за вас не могу поручиться в этом случае, но это — все пустяки и не в том дело. Вы мне скажите: кто эта особа, которая едет с Блиновым?

— Не знаю.

— Так узнайте! Ах, господи! господи! Непременно узнайте, и сегодня же!.. От этого все зависит: мы должны приготовиться. Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней... Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил Родион Антоныч, снимая очки, — ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым...

— Ну?..

— Так вот от Прозорова и можно будет узнать.

— Ах, действительно... Как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше! Так, так... Вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной все разузнайте от него. Ведь Прозоров болтун, и от него все на свете можно узнать... Отлично!..

— Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна... — с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.

— Это почему?

— Да так... Вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит...

— Ну, это вздор... Он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет.

— Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...

— Ну, черт с вами, убирайтесь в свой курятник! — сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку. — Афанасья! Одеваться... да живее!.. Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч!

«Ох, дрянь дело», — думал Родион Анто-

ныч, вылезая из кабинета.

Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.

Глава 2

Через полчаса Раиса Павловна спускалась с открытой веранды в густой и тенистый господский сад, который зеленой узорчатой прорезью драпировал берег пруда. На ней теперь было надето платье из голубого альпага, отделанное дорогими кружевами; красиво собранные рюши были схвачены под горлом бирюзовой брошью. В волосах, собранных в утреннюю прическу, удачно скрывалась чужая коса, которую носила Раиса Павловна очень давно. И в костюме, и в прическе, и в манере себя держать — везде сквозила какая-то фальшивая нота, которая придавала Раисе Павловне непривлекательный вид отжившей куртизанки. Впрочем, она это знала сама, но не стеснялась своей наружностью и даже точно нарочно щеголяла эксцентричностью костюма и своими полумужскими мане-

рами. То, что губит в общественном мнении других женщин, для Раисы Павловны не существовало. На остроумном языке Прозорова эта особенность Раисы Павловны объяснялась тем, что «подозрение да не коснется жены Цезаря». Ведь Раиса Павловна была именно такой женой Цезаря в маленьком заводском мирке, где вся и все преклонялось пред ее авторитетом, чтобы вдоволь позлословить на ее счет за глаза. Как умная женщина, Раиса Павловна все это отлично понимала и точно наслаждалась развертывавшейся пред ней картиной человеческой подлости. Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней, льстили и подличали наперерыв. Это было даже пикантно и приятно щекотало расшатавшиеся нервы жены Цезаря. Чтобы пройти к Прозорову, который в качестве главного инспектора заводских школ занимал один из бесчисленных флигелей господского дома, нужно было миновать ряд широких аллей, перекрещивавшихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. Сад был устроен на широкую барскую

ногу. Оранжереи, теплички, клумбы цветов, аллеи и узкие дорожки красиво пестрили зеленую полосу берега. В воздухе пахучей струей разливался аромат только что распустившихся левкоев и резеды. Сирень, как невеста, стояла вся залитая напухшими, налившимися почками, готовыми развернуться с часу на час. Подстриженные щеткой акации образовали живые зеленые стены, в которых там и сям уютно прятались маленькие зеленые ниши с крошечными садовыми диванчиками и чугунными круглыми столиками. Эти ниши походили на зеленые гнездышки, куда так и тянуло отдохнуть. Вообще садовник хорошо знал свое дело и на пять тысяч, которые ему ежегодно ассигновало кукарское заводоуправление специально на поддержку сада, оранжерей и теплиц, делал все, что мог сделать хороший садовник: зимой у него отлично цвели камелии, ранней весной тюльпаны и гиацинты; огурцы и свежая земляника подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. Только несколько отдельных куп из темных елей и пихт да до десятка старых кедров красноречиво свидетельство-

вали о том севере, где цвели эти выхоленные сирени, акации, тополи и тысячи красивых цветов, покрывавших клумбы и грядки яркой цветистой мозаикой. Растения были слабостью Раисы Павловны, и она каждый день по нескольку часов проводила в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на весь сад, на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его построек и на далекие окрестности.

Вид на Кукарский завод и на стеснившие его со всех сторон горы из господского сада, а особенно с веранды господского дома, был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности; на ближайшей красовалось своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый гребень. Издали эти две возвышенности походили на ворота, в которые выливалась горная река Ку-

карка, чтобы дальше сделать колено под крутой лесистой горой, оканчивавшейся утесистым пиком с воздушной часовенкой на самом верху. Между этими возвышенностями и по берегу пруда крепкпе заводские домики выровнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества. Пять больших церквей красовались на самых видных местах.

Сейчас под плотиной, где сердито бурлила бойкая Кукарка, с глухим вздрагиванием погромыхивали громадные фабрики. На первом плане дымились три доменных печи; из решетчатых железных коробок вечно тянулся черным хвостом густой дым, прорезанный снопами ярких искр и косматыми языками вырывавшегося огня. Рядом стояла черной пастью водяная лесопильня, куда, как живые, ползли со свистом и хрипеньем ряды бревен. Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю,

оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим царством огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками и зеленевшего по горам леса невольно манила к себе глаз своим простором, свежестью красок и далекой воздушной перспективой.

Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не хватало солнце. Раиса Павловна вошла в открытую дверь полусгнившей, покосившейся террасы. В первой комнате никого не было, как и в следующей за ней. Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями исборной мебелью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными: на полу оставались следы грязных ног, окна были покрыты пылью, везде царил страшный беспорядок. Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба. Раиса Павловна поморщилась и презрительно съежила плечи.

«Это какая-то конюшня...» — брезгливо подумала опа, заглядывая в следующую узкую полутемную комнату.

Она в нерешительности остановилась в

дверях, когда из глубины до ее слуха долетел речитатив Мефистофеля:

Красотка-то немножко устарела...

— Это вы, Виталий Кузьмич, на мой счет упражняетесь? — весело спросила Раиса Павловна, переступая порог.

Старчески-фальшивый голос смолк, и в ответ послышался тихий, с детскими нотками смех.

— Царица Раиса! какими судьбами!.. — заговорил небольшого роста худощавый господин, поднимаясь с прорванного клеенчатого дивана.

— Здравствуйте, великий человек... на малые дела! — развязно отозвалась Раиса Павловна, протягивая руку чудаку-хозяину. — Вы тут что-то такое пели сейчас?

— Да, да... — торопливо заговорил Прозоров, поправляя сбившийся на шее галстук. — Действительно, пел... Узрел сии голубые одежды, сию накладную косу, сие раскрашенное лицо — и запел!

— Если все остроумие заключается у вас сегодня в местоимении *сей*, то это немного скучно, Виталий Кузьмич.

— Что делать, что делать, голубушка! постарел, поглупел, выдохся... Ничто не вечно под луной!

— Где у вас тут присесть можно? — спрашивала Раиса Павловна, напрасно отыскивая глазами стул.

— А вот, пожалуйте на диван! Располагайтесь. Однако какими это судьбами занесло вас, царица Раиса, в мою берлогу?

— По старой памяти, Виталий Кузьмич... Когда-то ивы писывали стишки для женщины в голубых одеждах.

— О, помню, помню, царица Раиса! Дайте ручку поцеловать... Да, да... Когда-то, давно-давно, Виталий Прозоров не только декламировал вам чужие стихи, но и сам парил для вас. Ха-ха... Получается даже каламбур: парил и парил. Так-с... Вся жизнь состоит из таких каламбуров! Тогда, помните эту весеннюю лунную ночь... мы катались по озеру вдвоем... Как теперь вижу все: пахло сиренями, где-то заливался соловей! вы были молоды, полны сил, и судеб повинуясь закону...

Ты помнишь чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Прозоров припал своей седевшей головой к руке Раисы Павловны, и она почувствовала, как на руку закапали крупные слезы... Ей сделалось жутко от двойного чувства: она презирала этого несчастного человека, отравившего ей жизнь, и вместе с тем в ней смутно проснулось какое-то теплое чувство к нему, вернее сказать, не к нему лично, а к тем воспоминаниям, какие были связаны с этой кудрявой и все еще красивой головой. Раиса Павловна не отнимала руки и смотрела на Прозорова большими остановившимися глазами. Это узкое лицо с козлиной бородкой и большими, темными, горячими глазами все еще было красиво какой-то беспокойной, нервной красотой, хотя кудрявые темные волосы уже давно блестели сединой, точно серебристой плесенью. Такой же плесенью был покрыт и живой, остроумный мозг Прозорова, разлагавшийся от собственной работы.

— А теперь, — заговорил Прозоров, прерывая тяжелую паузу, — я смотрю на развалины моей Трои, которая напоминает мне о моем

собственном разрушении, Да, да... Но я еще нахожу капельку поэзии:

Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей...

«Кабинет» Прозорова, занимавший узкую проходную комнату, что-то вроде коридора, был насквозь пропитан дымом дешевых сигар и запахом водки. Ободранный письменный стол, придвинутый к внутренней стене, был завален книгами, которые лежали здесь в самом поэтическом беспорядке. Тут же валялись листы исписанной бумаги и пустая бутылка из-под водки. В углу комнаты помещался шкаф с книгами, в другом — пустая этажерка и сломанное кресло с вышитой цветными шелками спинкой. Измятый, небрежный костюм хозяина соответствовал обстановке кабинета: летнее пальто из парусины съежилось от стирки и некрасиво суживало и без того его узкие плечи; такие же брюки, смятая сорочка и нечищеные, порыжевшие сапоги дополняли костюм. Раиса Павловна готова была пожалеть этого жалко-

го старика, который уже заметил это мимолетное движение, и по его худощавому лицу скользнула презрительно-нахальная улыбка, которая Раисе Павловне была особенно хорошо знакома.

— А я зашла к вам за Лушей... — деловым тоном заговорила Раиса Павловна, испытывая маленькое смущение.

— Знаю, знаю... — торопливо отозвался Прозоров, взбивая на голове волосы привычным жестом. — Знаю, что за делом, только не знаю, за каким...

— Я же сказала вам.

— Ах, да... Верую, господи, помоги моему неверию. За Лушей... Так.

— А ведь она у вас совсем большая. Необходимо о ней позаботиться...

— Совершенно верно!

Что за комиссия, создатель,

Быть взрослой дочери отцом!

— Особенно таким отцом, каким судьба так несправедливо наградила бедную Лушу.

— Да, но я только отрицательным образом несправедлив к моей дочери, тогда как вы своим влиянием прививаете самое положи-

тельное зло.

— Именно?

— Именно, набиваете ей голову тряпками и разной бабьей философией. Я, по крайней мере, не вмешиваюсь в ее жизнь и предоставляю ее самой себе: природа — лучший учитель, который никогда не ошибается...

— И я так же рассуждала бы, если бы не любила вашей Луши.

— Вы? Любили? Перестаньте, царица Раиса, играть в прятки; мы оба, кажется, немного устарели для таких пустяков... Мы слишком эгоисты, чтобы любить кого-нибудь, кроме себя, или, вернее сказать, если мы и любили, так любили и в других самих же себя. Так? А вы, кроме того, еще умеете ненавидеть и мстить... Впрочем, я если уважаю вас, так уважаю именно за это милое качество.

— Благодарю. Откровенность за откровенность; бросьте этот старый хлам и лучше расскажите мне, что за человек генерал Блинов, с которым вы учились.

— Блинов... генерал Блинов... Да, Мирон Блинов.

Прозоров остановился и, взглянув на Раису

Павловну с своей ехидной улыбкой, проговорил:

— Так вот зачем вы пожаловали ко мне!

— Что же из этого?

— А для чего вам понадобился Блинов? Опять какая-нибудь мудреная комбинация в области политики...

— Если спрашиваю, значит мне это нужно знать, а для чего нужно — дело мое. Поняли? Бабье любопытство одолело.

— Я так спросил... Так вам, значит, нужно выправить через меня справку о Мироне Геннадьнче? Извольте... Во-первых, это очень честный человек — первая беда для вас; во-вторых, он очень умный человек — вторая беда, и, в-третьих, он, к вашему счастью, сам считает себя умным человеком. Из таких умных и честных людей можно веревки вить, хотя сноровка нужна. Впрочем, Блинов застрахован от вашей бабьей политики... Ха-ха!..

— Я не нахожу ничего смешного в том, что Мирон Геннадьич находится под сильным влиянием одной особы, которая...

— ...Которая безобразна, как гороховое чу-

чело, — подхватил Прозоров удачно подброшенную реплику, — стара, как попова собака, и умна, как дьявол.

— А вы не знаете, кто эта особа сама по себе?

— Н-нет... Кажется, из девиц легкого чтения или из кухарок, но вообще не высокого полета. Ха-ха!.. Представьте же себе такую комбинацию: Блинов — профессор университета, стяжал себе известное имя, яко политико-эконом и светлая финансовая голова, затем, как я уже сказал вам, хороший человек во всех отношениях — и вдруг этот самый генерал Блинов, со всей своей ученостью, честностью и превосходительством, сидит под башмаком какого-то урода. Я еще понимаю такую ошибку, потому что когда-то сам имел несчастье увлечься такой женщиной, как вы. Ведь и вы меня любили когда-то, царица Раиса...

— Я? Никогда!..

— Немножко?

— А вы видели эту особу, которая держит генерала под башмаком? — перебила Раиса Павловна этот откровенный вопрос.

— Издали. Про нее можно сказать словами балаганных остряков, что издали она безобразна, а чем ближе, тем хуже. Послушайте, однако, для чего вы меня исповедуете обо всем этом?

— А вы до сих пор не можете догадаться, что это секрет, — с улыбкой ответила Раиса Павловна, — а секретов вам, как известно, доверять нельзя.

— Да, да... Все разболтаю: язык мой — враг мой, — согласился Прозоров с полукомическим вздохом.

Раиса Павловна просидела в каморке Прозорова еще с полчаса, стараясь выведать у своего болтливого собеседника еще что-нибудь о таинственной особе. Прозоров в таких случаях не заставлял себя просить и принялся рассказывать такие подробности, которые даже не позаботился сколько-нибудь прикрасить для вероятности.

— Ну, вы, кажется, уж того... — заметила Раиса Павловна, поднимаясь с места.

— Убей меня бог, если вру!

Чтобы придать своим рассказам оттенок действительности, Прозоров углубился в вос-

поминания собственной юности, когда он еще студентом занимал вместе с Блиновым крошечную каморку в 17-й линии Васильевского острова. Славное было время, хотя Блинов был один из самых тупых студентов. Решительно не подавал никаких надежд, зубрил напропалую, вообще являлся дюжинной натурой и самой жалкой посредственностью. После их дороги разошлись, а теперь Блинов — видный ученый и превосходительная особа, тогда как Прозоров заживо тонет в водке.

— Кто же вам велит пить? — строго проговорила Раиса Павловна, стараясь не глядеть на своего собеседника.

— Кто меня заставляет? — спросил Прозоров, запуская обе руки в свои седые кудри.

— Да, вас...

— Эх, царица Раиса... Зачем вы меня спрашиваете? — застонал Прозоров. — Вы ведь очень хорошо знаете всю эту историю: душа болит у Виталия Кузьмича, вот он и пьет. Думал когда-то гору своротить, а запнулся о соломинку... Знаете, у меня на днях блеснула очень хорошая теория, которую можно на-

звать *теорией жертв.* Да, да... Всякое движение вперед и во всякой сфере требует своих жертв. Это железный закон!.. Возьмите промышленность, науку, искусство — везде казовые концы, которыми мы любуемся, выкупаются целым рядом жертв. Каждая машина, каждое усовершенствование или изобретение в области техники, каждое новое открытие требует тысяч человеческих жертв, именно в лице тех тружеников, которые остаются благодаря этим благодеяниям цивилизации без куска хлеба, которых режет и дробит какое-нибудь глупейшее колесо, которые приносят в жертву своих детей с восьми лет... То же самое творится и в области искусства и науки, где каждая новая истина, всякое художественное произведение, редкие жемчужины истинной поэзии — все это выросло и созрело благодаря существованию тысяч неудачников и непризнанных гениев. И заметьте, эти жертвы не случайность, даже не несчастие, а только простой логический вывод из математически верного закона. Вот я и сопричислил себя к лику этих неудачников и непризнанных гениев: имя нам легион...

Единственное утешение, которое осталось нам на долю, когда рядом генералы Блиновы процветают и блаженствуют, — есть мысль, что если бы не было нас, не было бы и действительно замечательных людей. Да-с...

Прозоров остановился перед своей слушательницей в трагической позе, какие «выкидывают» плохие провинциальные актеры. Раиса Павловна молчала, не поднимая глаз. Последние слова Прозорова отозвались в ее сердце болезненным чувством: в них было, может быть, слишком много правды, естественным продолжением которой служила вся беспорядочная обстановка Прозоровского жилья.

— И заметьте, — импровизировал Прозоров, начиная бегать из угла в угол, — как нас всех, таких межеумков, заедает рефлексия: мы не сделаем шагу, чтобы не оглянуться и не посмотреть на себя... И везде это проклятое я! И понятное дело! Настоящего, определенного занятия у нас нет, — вот мы и копаемся в собственной душонке да вытаскиваем оттуда разный хлам. Главное, я сознаю, что такое положение самое распоследнее дело, потому что

создается скромным желанием оправить себя в глазах современников. Ха-ха!.. И сколько нас, таких артистов? Есть даже такие счастливцы, что ухитряются целую жизнь пользоваться репутацией умных людей. Благодарю бога, что я не принадлежу к их числу, по крайней мере... Выеденное яйцо — вернее, болтун — и дело с концом.

— О чем же у вас душа болит?

— Ах, да... Душа-то?.. А болит она, царица Раиса, о том, что я мог выполнить и не выполнил. Самое тяжелое чувство... И так во всем: в общественной деятельности, в своей профессии, особенно в личных делах. Идешь туда — и, глядишь, пришел совсем в другое место; хочешь принести человеку пользу — получается вред, любишь человека — платят ненавистью, хочешь исправиться — только глубже опускаешься... Да. А там, в глубине души, сосет этакий дьявольский червяк: ведь ты умнее других, ведь ты бы мог быть и тем-то, и тем-то, ведь и счастье себе своими руками загубил. Вот тут и приходит мат, хоть петлю на шею!

— Я вас за что люблю? — неожиданно пре-

рвал Прозоров ход своих мыслей. — Люблю за то именно, чего мне недостает, хотя сам я этого, пожалуй, и не желал бы иметь. Ведь вы всегда меня давили и теперь давите, даже давите вот своим настоящим милостивым присутствием...

— Я ухожу.

— Еще одно слово! — остановил Прозоров свою гостью. — Моя песенка спета, и обо мне нечего говорить, но я хочу просить вас об одном... Исполните?

— Не знаю, какая просьба.

— Исполнить ее вам ничего не стоит...

— Обещать, не зная что, по меньшей мере глупо.

Прозоров неожиданно опустился перед Раисой Павловной на колени и, схватив ее за руку, задыхавшимся шепотом проговорил:

— Оставьте Лушу в покое... Слышите: оставьте! Я встретился с вами в несчастную минуту и дорого заплатил за это удовольствие...

— И я, кажется, не дешево!

— Но моя девочка не виновата ни душой, ни телом в наших ошибках...

— Перестаньте ломать комедию, Виталий Кузьмич, — строго заговорила Раиса Павловна, направляясь к выходу. — Достаточно того, что я люблю Лушу гораздо больше вашего и позабочусь о ней...

— Неужели вам мало ваших приживалок, которыми вы занимаете своих гостей?! — со злостью закричал Прозоров, сжимая кулаки. — Зачем вы втягиваете мою девочку в эту помойную яму? О, господи, господи! Вам мало видеть, как ползают и пресмыкаются у ваших ног десятки подлых людей, мало их унижения и добровольного позора, вы хотите развратить еще и Лушу! Но я этого не позволю... Этого не будет!

— Вы забываете только одно маленькое обстоятельство, Виталий Кузьмич, — сухо заметила Раиса Павловна, останавливаясь в дверях, — забываете, что Луша совсем большая девушка и может иметь свое мнение, свои собственные желания.

Прозоров остановился, что-то подумал, махнул рукой и каким-то упавшим голосом спросил:

— Скажите, по крайней мере, Для чего вы

меня исповедовали о генерале Блинове?

Раиса Павловна только пожала плечами и презрительно улыбнулась. Она вздохнула свободнее, когда очутилась на открытом воздухе.

— Дурак!.. — энергично проговорила она, шагая по черемуховой аллее к центральной площадке.

Глава 3

Возвращаясь по саду домой, Раиса Павловна перебирала в уме только что слышанную болтовню Прозорова. Что такое генерал Блинов — она почти поняла, или, по крайней мере, отлично представляла себе этого человека; но относительно особы она мало вынесла из своего визита к Прозорову. Эта особа так и оставалась искомым неизвестным. Прозоров рисовал слишком густыми красками и, наверно, любую половину приврал. Раису Павловну смущало больше всего противоречие, которое вытекало из характеристики Прозорова: если эта таинственная особа стара и безобразна, то где же секрет ее влияния на Блинова, тем более что она не была даже его же-

ной? Что-нибудь да не так, особенно если принять во внимание, что генерал, по всем отзывам, человек умный и честный... Конечно, бывают иногда случаи.

Занятая своими мыслями, Раиса Павловна не заметила, как столкнулась носом к носу с молоденькой девушкой, которая шла навстречу с мохнатым полотенцем в руках.

— Ах, как ты меня испугала, Луша!

— Куда это вы ходили, Раиса Павловна? — весело спрашивала девушка, целуя Раису Павловну звонким поцелуем.

— К вам ходила... С папенькой твоим беседовали чуть не целый час. Даже голова заболела от его болтовни... Ты что это, купалась?

— Да...

Девушка показала свои густые мокрые волосы, завернутые толстым узлом и прикрытые сверху пестрым бумажным платком, который был сильно надвинут на глаза, как носят заводские бабы. Под навесом платка беззаботно смеялись бойкие карие глаза, опушенные длинными ресницами; красивый с горбиком нос как-то особенно смешно морщился, когда Луша начинала смеяться. Это

молодое лицо, теперь все залитое румянцем, было хорошо даже своими недостатками: маленьким лбом, неправильным овалом щек, чем-то бесхарактерным, что лежало в очерке рта. Раиса Павловна любила это лицо и теперь с особенным удовольствием осматривала девушку с ног до головы: положительно, Луша унаследовала от отца его нервную красоту. С материнской улыбкой она осматривала теперь новенькое платье Луши. Это была дорогая обновка из чечунчи, и девушка в первый раз надела ее, чтобы идти купаться. Нет, в этой девчонке есть именно то качество, которое сразу выделяет женщину из тысячи других бесцветных кукол.

— Луша, я скажу тебе очень интересную новость... — заговорила Раиса Павловна, обнимая девушку за талию и увлекая ее за собой. — К нам едет Евгений Константиныч...

— Лаптев?

— Да. Только это пока секрет. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю...

— С ним, конечно, едет Прейн, потом толпа молодежи... Превесело проведем все лето. Самый отличный случай для твоих первых

триумфов!.. Да, мы им всем вскружим голову... У нас одни бюст чего стоит, плечи, шея... Да?.. Милочка, женщине так мало дано от бога на этом свете, что она своим малым должна распорядиться с величайшей осторожностью. Притом женщине ничего не прощают, особенно не прощают старости... Ведь так... а?..

При последних словах Раиса Павловна накинулась на девушку с такими ласками, от которых та принуждена была защищаться.

— Ах, какая ты недотрога!.. — с улыбкой проговорила Раиса Павловна. — Не нужно быть слишком застенчивой. Все хорошо в меру: и застенчивость, и дерзость, и даже глупость... Ну, сознайся, ты рада, что приедет к нам Лаптев? Да?.. Ведь в семнадцать лет жить хочется, а в каком-нибудь Кукарском заводе что могла ты до сих пор видеть, — ровно ничего! Мне, старой бабе, и то иногда тошнехонько сделается, хоть сейчас же камень на шею да в воду.

— А Лаптев долго пробудет у нас?

— Пока ничего не знаю, но с месяц, никак не более. Как раз пробудет, одним словом,

столько, что ты успеешь повеселиться до упаду, и, кто знает... Да, да!.. Говорю совершенно серьезно...

Луша тихо засмеялась теми же детскими нотками, как смеялся отец; ровные белые зубы и ямочки на щеках придавали смеху Луши какую-то наивную прелесть, хотя карие глаза оставались серьезными и в них светилось что-то жесткое и недоверчивое.

— Вы меня уж не за Прейна ли прочите? — проговорила Луша, делая гримасу.

— Нет. Прейн никогда не женится. Но это ему не мешает быть еще красивым мужчиной, конечно, красивым для своих лет. Когда-то он был замечательно хорош, но теперь...

— Мне он кажется просто отвратительным.

— Да? А между тем от него еще недавно женщины сходили с ума... Впрочем, ты еще была совсем крошкой, когда Прейн был здесь в последний раз.

— Все-таки я отлично его помню: зубы гнилые и смотрит так... совсем особенно. Я всегда боялась, когда он начинал смеяться.

— Дурочка!.. Что же мы здесь шатаемся с тобой, пойдем ко мне кофе пить.

— Я схожу переодеться сначала.

— Вздор! Можешь у меня переодеться. Афанасья уберет тебе волосы.

Они пошли от пруда по направлению к главному зданию господского дома. Солнце было уже высоко и подобрало ночную росу с травы и цветов. Только кой-где, под прикрытием кустов, оставались еще темно-зеленые полосы мокрой зелени, точно сейчас покрытой лаком. Из этих тенистых уголков так и обдавало свежестью, которая быстро исчезала под наплывом сгущавшегося летнего зноя. Легкое грозовое облачко, точно вскинутый кверху ворох темных кружев, круто поднималось над далекими горами, оставляя за собой длинную тень, скользившую по земле широким шлейфом.

С веранды дамы прошли прямо в уборную Раисы Павловны, великолепную голубую комнату с атласными обоями, штофными драпировками и ореховой мебелью в стиле которого-то Людовика. Мраморный умывальник, низкая резная кровать с балдахином над

изголовьем, несколько столиков самой вычурной работы, в углах шифоньерки — вообще обстановка уборной придавала ей вид и спальни и будуара. Тысячи безделушек валялись кругом без всякой цели и порядка, единственно потому только, что их так бросили или забыли: японские коробки и лакированные ящички, несколько китайских фарфоровых ваз, пустые бонбоньерки, те специально дамские безделушки, которыми Париж наводняет все магазины, футляры всевозможной величины, формы и назначения, флаконы с духами, целый арсенал принадлежностей косметики и т. д. Приготовленное Афанасьей платье ждало Раису Павловну на широком атласном диванчике; различные принадлежности дамского костюма перемешались в беспорядочную цветочную кучу, из-под которой выставлялись рукава платья с болтавшимися манжетами, точно под этой кучей лежал раздавленный человек с бессильно опустившимися руками. Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом.

— Афанасья, прибери голову Луше, — ле-

ниво проговорила Раиса Павловна, усталым движением опускаясь на кушетку. — А я подожду...

Афанасья, худая и длинная особа, с костлявыми руками и узким злым лицом, молча принялась за дело. Девушка с удовольствием поместилась к дамскому уборному столику, овальное зеркало которого совсем пряталось под кружевным пологом, схваченным наверху короной из голубых и белых лент. Раиса Павловна несколько минут следила за работой Афанасьи и нахмурилась. Верная служанка, видимо, была недовольна своей работой и сердито приводила в порядок рассыпавшуюся по плечам Луши волну русых волос; гребень ходил у ней в руках неровно и заставил девушку несколько раз сморщиться от боли.

— Оставь... — проговорила Раиса Павловна, когда Афанасья принялась заплетать тяжелую косу. — Можешь идти.

Афанасья что-то проворчала себе под нос и вышла из комнаты.

— Настоящая змея! — с улыбкой проговорила Раиса Павловна, вставая с кушетки. — Я сама устрою тебе все... Сиди смирно и не вер-

ти головой. Какие у тебя славные волосы, Луша! — любовалась она, перебирая в руках тяжелые пряди еще не просохших волос. — Настоящий шелк... У затылка не нужно плести косу очень туго, а то будет болеть голова. Вот так будет лучше...

С ловкостью камеристки Раиса Павловна сделала пробор на голове, заплела косу и, отойдя в сторону, несколько времени безмолвно любовалась сидевшей неподвижно Лушей. Когда та хотела встать, она остановила ее:

— Погоди, у меня есть одна штучка, которая к тебе очень пойдет.

Вытащив из шифоньерки какой-то длинный футляр. Раиса Павловна торопливо достала из него несколько ниток красных кораллов с золотой застежкой и надела их на Лушу.

— Вот теперь хорошо! — довольным голосом заметила она. — Красные кораллы идут ко всякой коже...

Луша покраснела от удовольствия; у нее, кроме бус из дутого стекла, ничего не было, а тут были настоящие кораллы. Это движение

не ускользнуло от зоркого взгляда Раисы Павловны, и она поспешила им воспользоваться. На сцену появились браслеты, серьги, броши, колье. Все это примеривалось перед зеркалом и ценилось по достоинству. Девушке особенно понравилась брошь из восточного изумруда густого кровяного цвета; дорогой камень блестел, как сгусток свежезапекшейся крови.

— Не правда ли, хорошо? — спрашивала Раиса Павловна и потом вдруг расхохоталась.

Девушка смутилась и начала торопливо срывать с себя чужие сокровища, но Раиса Павловна удержала ее за руку.

— Знаешь, над чем я хохочу? — шептала она, вздрагивая от смеха. — Если бы твой папа увидел теперь нас, он просто приколотил бы и тебя и меня... Ведь он ненавидит все, что нравится женщинам. Ха-ха... Он хотел сделать из тебя мальчика — да? Но природа перехитрила его. Разве мы виноваты, если эти безделушки делают нас не красивее, а заметнее. Женщина — пассивное существо; ей, особенно в известном возрасте, поневоле приходится прибегать к искусству... Но это к тебе не относится: ты слишком хороша сама по себе,

чтобы портить себя разным дорогим хламом. Какая-нибудь лента, несколько живых цветов — вот все, что для тебя теперь необходимо. Так?.. Только не следует забывать, что всякая красота, особенно типичная, редкая красота, держится недолго и ее приходится поддерживать. Вот об этом всякой женщине следует подумать заблаговременно. Женщина всегда останется женщиной, что бы там ни говорили... Будь ты умна, как все семь греческих мудрецов, но ни один мужчина не посмотрит на тебя, как на женщину, если ты не будешь красива. Заметь, что даже самой красивой девушке не всегда будет семнадцать лет... Время — наш самый страшный враг, и мы всегда должны это помнить, ma petite[53].

Этот разговор был прерван появлением Афанасьи с кофе. За ней вошел в комнату высокий господин в круглых очках. Он осмотрелся в комнате и нерешительно проговорил:

— Раиса Павловна, вы слышали новость?

— Какую?

— Евгений Константиныч едет к нам...

— Неужели?

— Да, да... Все говорят об этом. Получено

какое-то письмо. Я нарочно зашел к тебе узнать, что это такое?..

— Можешь успокоиться: Лаптев действительно едет сюда. Я сегодня получила письмо об этом.

— Здравствуйте, Платон Васильнч... — заговорила Луша.

— Ах, да... Виноват, я совсем не заметил тебя, — рассеянно проговорил Платон Васильич. — Я что-то хуже и хуже вижу с каждым днем... А ты выросла. Да... Совсем уж взрослая барышня, невеста. А что папа? Я его что-то давно не вижу у нас?

— Виталий Кузьмич сердится на тебя, — ответила Раиса Павловна.

Платон Васильевич постоял несколько минут на своем месте, рассеянным движением погладил свою лысину и вопросительно повернул сильно выгнутые стекла своих очков в сторону жены. На его широком добродушном лице с окладистой седой бородой промелькнула неопределенная улыбка. Эта улыбка рассердила Раису Павловну. «Этот идиот невыносим», — с щемящей злобой подумала она, нервно бросая в угол какой-то подвер-

нувшийся под руку несчастный футляр. Ее теперь бесила и серая летняя пара мужа, и его блестевшие очки, и нерешительные движения, и эта широкая лысина, придававшая ему вид новорожденного.

— Ну? — сердито бросила она свой обычный вопрос.

— Я — ничего... Я сейчас иду в завод, — заговорил Платон Васильевич, ретируясь к двери.

— Ну и отправляйся в свой завод, а мы здесь будем одеваться. Кофе я пришлю к тебе в кабинет.

Когда Платон Васильевич удалился, Раиса Павловна тяжело вздохнула, точно с ее жирных плеч скатилось тяжелое бремя. Луша не заметила хорошенько этой семейной сцены и сидела по-прежнему перед зеркалом, вокруг которого в самом художественном беспорядке валялись броши, браслеты, кольца, серьги и колье. Живой огонь брильянтов, цветные искры рубинов и сапфиров, радужный, жирный блеск жемчуга, молочная теплота большого опала — все это притягивало теперь ее взгляд с магической силой, и она продолжала

смотреть на разбросанные сокровища, как очарованная. Воображение рисовало ей, что эти брильянты искрятся у ней на шее и разливают по всему телу приятную теплоту, а на груди влажным огнем горит восточный изумруд. В карих глазах Луши вспыхнул жадный огонек, заставивший Раису Павловну улыбнуться. Кажется, еще одно мгновение, и Луша, как сорока, инстинктивно схватила бы первую блестевшую безделушку. Девушка очнулась только тогда, когда Раиса Павловна поцеловала ее в зарумянившуюся щечку.

— А... что?.. — бормотала она, точно просыпаясь от своего забытья.

— Ничего... Я залюбовалась тобой. Хочешь, я подарю тебе эту коралловую нитку?

Действительность отрезвила Лушу. Инстинктивным движением она сорвала с шеи чужие кораллы и торопливо бросила их на зеркало. Молодое лицо было залито краской стыда и досады: она не имела ничего, но милостыни не принимала еще ни от кого. Да и что могла значить какая-нибудь коралловая нитка? Это душевное движение понравилось Раисе Павловне, и она с забившимся сердцем

подумала: «Нет, положительно, эта девчонка пойдет далеко... Настоящий тигренок!»

Глава 4

Известие о приезде Лаптева молнией облетело не только Кукарский, но и все остальные заводы.

Интересно было проследить, как распространилось это известие по всему заводскому округу. Родион Антоныч не сказал никому о содержании своего разговора с Раисой Павловной, но в заводоуправлении видели, как его долгушка не в урочный час прокатилась к господскому дому. Это — раз. Когда служащие навели необходимые справки, оказалось, что за Родионом Антонычем рассылка из господского дома бегала целых три раза. Вот вам — два. А это уж что-нибудь значило! После таких экстренных советов Раисы Павловны с своим секретарем всегда следовали какие-нибудь важные события. Когда служащие вкривь и вкось обсуждали все случившееся, в заводскую библиотеку, которая помещалась в здании заводоуправления, прибежал Прозоров и торопливо сообщил, что на заводы едет

Лаптев. Он сам не слыхал об этом, но дошел до такого заключения путем чисто логических выкладок и, как мы видим, не ошибся. В библиотеке в это время сидели молодой заводский доктор Кормилицын и старик Майзель, второй заводский управитель.

— Что же тут особенного: едет — так едет! — жидким тенорком заметил доктор, поправляя свою нечесаную гриву.

— А па-азвольте узнать, Виталий Кузьмич, от кого вы это узнали? — спрашивал Майзель, отчеканивая каждое слово.

— Все будешь знать, скоро состаришься, — уклончиво ответил Прозоров, ероша свои седые кудри. — Сказал, что едет, и будет с вас.

Майзель презрительно сжал свои губы и подозрительно чмокнул углом рта. Его гладко остриженная голова, с закрученными седыми усами, и военная выправка выдавали старого военного, который постоянно выпячивал грудь и молодцевато встряхивал плечами. Красный короткий затылок и точно обрубленное лицо, с тупым и нахальным взглядом, выдавали в Майзеле кровного «русского немца», которыми кишмя кишит наше любезное

отечество. В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой чеканке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к слепому подчинению живой человеческой массы, как сам умел сгибаться в кольцо перед сильными мира сего. К этому остается добавить только то, что Майзель никак не мог забыть тех жирных генеральских эполет, которые уже готовы были повиснуть на его широких плечах, но по одной маленькой случайности не только не повисли, но заставили Майзеля выйти в отставку и поступить на частную службу. Рядом с Майзелем, вылощенным и вычищенным, как на смотр, доктор Кормилицын представлял своей длинной, нескладной и тощей фигурой жалкую противоположность. В нем как-то все было не к месту, точно платье с чужого плеча: тонкие ноги с широчайшими ступнями, длинные руки с узкой, бессильной костью, впалая чахоточная грудь, расшатанная походка, зеленовато-серое лицо с длинным носом и узкими карими глазами, наконец вялые движения, где все выходило углом. Прозоров бойко и насмешливо посмотрел на своих слушателей и

проговорил, обращаясь к Майзелю:

— Итак, драгоценнейший Николай Карлыч, дни наши сочтены, и воздастся коемуждо поделом его...

— Что вы хотите этим сказать?..

— Ха-ха... Ничего, ничего! Я пошутил...

— И очень глупо!..

— Нет, кроме шуток: с Лаптевым едет генерал Блинов, и нам всем достанется на орехи.

Последняя фраза целиком долетела до ушей входившего в библиотеку бухгалтера из Заозерного завода. Сгорбленный лысый старичок тускло посмотрел на беседовавших, неловко поклонился им и забился в самый дальний угол, где из-за раскрытой газеты торчало его любопытное старческое ухо, ловившее интересный беглый разговор.

Этого было достаточно, чтобы через полчаса все заводские служащие узнали интересную новость. Майзель торопливо уехал домой, чтобы из первых рук сообщить все слышанное своей Амалии Карловне, у которой — скажем в скобках — он нес очень тяжелую фронтовую службу. Тем, кто не был в этот день на службе, интересное известие обяза-

тельно развез доктор Кормилицын, причем своими бессвязными ответами любопытную половину человеческого рода привел в полное отчаяние. Через два часа новинка уже катилась по дороге в Заозерный завод и по пути была передана ехавшему навстречу кассиру из Куржака и Мельковскому заводскому надзирателю. Словом, полученное утром Раисой Павловной известие начало циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший переполох. Как это часто случается, последним узнал эту интересную новость главный управляющий Кукарских заводов Платон Васильич Горемыкин. Он с механиком дожидался отливки катальных валов, когда старик дозорный, сняв шапку, почтительно осведомился, не будет лн каких особенных приказаний по случаю приезда Лаптева.

— Что-нибудь да не так, — усомнился Горемыкин.

— Нет, они едут-с... — настаивал дозорный. — Вся фабрика в голос говорит.

— Вы разве ничего не слыхали, Платон Ва-

сильич? — с удивлением спрашивал механик.

— Нет.

— Странно... Все решительно говорят о приезде Евгения Константиныча на заводы.

— Гм... Нужно будет спросить у Раисы Павловны, — решил Горемыкин. — Она знает, вероятно.

Главный виновник поднявшегося переполоха, Прозоров, был очень доволен той ролью, которая ему выпала в этом деле. Пущенным наудачу слухом он удовлетворил свое собственное озлобленное чувство против человеческой глупости: пусть-де их побеснуются и поломают свои пустые головы. С другой стороны, этому философу доставляло громадное наслаждение наблюдать базар житейской суеты в его самых живых движениях, когда наверх всплывали самые горячие интересы и злобы. Подавленная тревога Майзеля, детское равнодушие доктора, суета мелкой служительской сошки — все это доставляло богатый запас пищи для озлобленного ума Прозорова и служило материалом для его ядовитых сарказмов. Побродив по заводоуправ-

лению, где в четырех отделениях работало до сотни служащих, Прозоров отправился к председателю земской управы Тетюеву, который по случаю летних вакаций жил в Кукарском заводе, где у него был свой дом.

— Слышали новость, Авдей Никитич? — крикливо спрашивал Прозоров еще из передней небольшого вертлявого господина в синих очках, который ждал его в дверях гостиной.

— Да, слышал... Только это нас не касается, Виталий Кузьмич, — отвечал председатель, протягивая свою короткую руку. — Для земства это совершенно безразлично.

— Ой ли?

— Конечно, безразлично... Хотя бы три дня шел дождь Лаптевыми, скажу словами Лютера, до земства это не касается... Земство должно держать высоко знамя своей независимости, оно стоит выше всего этого.

Прозоров засмеялся.

— Вы чему смеетесь?

— Да так... Скажу вам на ушко, что всю эту штуку я придумал — и только! Ха-ха!.. Пусть их поворочают мозгами...

— В таком случае, я могу вас уверить, что Лаптев действительно едет сюда. Я это знаю из самых наидостовернейших источников...

— Вот те и раз! Значит, иногда можно соврать истинную правду.

— Вы, конечно, знаете, какую борьбу ведет земство с заводоуправлением вот уже который год, — торопливо заговорил Тетюев. — Приезд Лаптева в этом случае имеет для нас только то значение, что мы окончательно выясним наши взаимные отношения. Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде всего необходимо понять его планы. Мы так и сделаем. Я поклялся сломить заводоуправление в его нынешнем составе и добьюсь своей цели.

— Война алой и белой розы?

— Да, около того. Я поклялся провести свою идею до конца, и не буду я, если когда-нибудь изменю этой идее.

— Враг силен, Авдей Никитич...

— Чтобы я когда-нибудь перешел на сторону Лаптева?! Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть тень чего-нибудь подобного.

Плотная, приземистая фигура Тетюева, казалось, дышала той энергией, которая слышалась в его словах. Его широкое лицо с крупными чертами и окладистой русой бородкой носило на себе интеллигентный характер, так же как и простой домашний костюм, приспособленный для кабинетной работы. Вообще Тетюев представлял собой интересный тип земского деятеля, этого homo novus[54] захолустной провинциальной жизни. Отец и дед Тетюева служили управителями в Кукарском заводе и прославились в темные времена крепостного права особенной жестокостью относительно рабочих, под их железной рукой стонали и гнулись в бараний рог не одни рабочие, а весь штат заводских служащих, набранных из тех же крепостных. Авдей Никитич только чуть помнил это славное время процветания своей фамилии, а самому ему уже пришлось пробивать дорогу собственным лбом и не по заводской части. Полученное им университетское образование, вместе с наследством после отца, дало ему полную возможность не только фигурировать с приличным шиком в качестве председателя Ель-

никовской земской управы, но еще загибать углы такой крупной силе, как кукарское заводоуправление. В последнем случае одною из побудительных причин, поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое простое обстоятельство: он не мог никак примазаться к заводам, куда его неудержимо тянуло в силу семейных традиций, и теперь в качестве земского деятеля солил заводоуправлению в его настоящем составе.

— А я вот «Лоэнгрина» здесь штудирую... — объяснял Тетюев, усаживая гостя на диван. — Чертовски трудная эта вагнеровская музыка.

— Ага!

— Знаете, такие оригинальные музыкальные фразы попадаются, что бьешься-бьешься над ними...

— Ага! Ага, ворона!

— Да вот я вам лучше сыграю, сами увидите!

Тетюев подбежал к щегольскому роялю и бойко заиграл какую-то сцену из второго акта «Лоэнгрина». Поместившись на диване, Прозоров старался вслушаться в шумные аккор-

ды музыки будущего; музыкальная тема была слишком растянута и расплывалась в неясных деталях. Старик предпочитал музыку прошедшего, где все было ясно и просто: хоры так хоры, мелодия так мелодия, а то извольте-ка выдержать всю пьесу до конца. Играл Тетюев порядочно и страстно любил музыку, которой отдавал все свое свободное время. В нем была артистическая жилка, которая теперь сближала этих антиподов. В сущности, Прозоров не понимал Тетюева: и умный он был человек, этот Авдей Никитич, и образование приличное получил, и хорошие слова умел говорить, и благородной энергией постоянно задыхался, а все-таки, если его разобрать, так черт его знает, что это был за человек... Собственно, Прозорова отталкивала та мужицкая закваска, какая порой сказывалась в Тетюеве: неискренность, хитрость, неуловимое себе на уме, которое вырабатывалось под давлением крепостного режима целым рядом поколений. Прозорову хотелось верить в Тетюева, но эту веру постоянно подмывала какая-то холодная и фальшивая нотка. Обстановка большого председательского дома от-

личалась пестрой смесью старой крепостной роскоши с требованиями нового времени. Почерневшие кресла из красного дерева с тонкими ножками и выгнутыми спинками простояли в этом доме целых полвека и теперь старчески-неприязненно смотрели на новую венскую мебель, на пестрые бархатные ковры и на щегольской рояль. Старик Тетюев был крепкий человек и не допустил бы к себе в дом ничего легковесного: каждая вещь должна была отслужить minimum сто лет, чтобы добиться отставки. Но старика Тетюева не стало, и в его дом вместе с новыми легковесными людьми ворвался целый поток разной дребедени. Звуки вагнеровской оперы дополняли картину, наполняя стены, выстроенные крепостным трудом, мелодиями музыки будущего. Прозоров слушал «Лоэнгрина» и незаметно позабылся, погрузившись в воспоминания своего тревожного прошлого, где вставало столько дорогих сердцу лиц и событий.

— Ну-с, как вы находите? — спрашивал хозяин, поднимаясь из-за рояля.

— А... что?

Тетюев немного обиделся. Невнимание к

его игре задело его за живое, как артиста.

— Вот что, — прибавил он. — Соловья музыкой будущего не кормят... Так? Адмиральский час на дворе, и пора закусить.

От закуски Прозоров не отказался, тем более что Тетюев любил сам хорошо закусить и выпить, с теми специально барскими приемами, какие усваиваются на официальных обедах и парадных завтраках. За бутылкой рейнвейна Прозоров разболтался, и Тетюев много и долго говорил о процветании Ельниковского земства, о народном образовании, а особенно о том, что Кукарские заводы в стройном земском концерте являются страшным диссонансом, который необходимо перевести в гармонические комбинации. Развивая свою мысль, он доказывал, как дважды два четыре, что заводы должны быть обложены вчетверо больше, чем теперь, что должны быть обеспечены на счет заводовладельца все искалеченные на заводской работе, изработавшиеся и сироты, что он притянет заводовладельца по поводу профессионального образования и т. д. Прозоров, слушая все это внимательно, пил и не возражал, улыбаясь

блаженной улыбкой довольного пьяницы. В заключение Тетюев не без ловкости принялся расспрашивать Прозорова о генерале Блинове, причем Прозоров не заставлял просить себя лишний раз и охотно повторил то же самое, что утром уже рассказывал Раисе Павловне.

— Так, так... — мягким грудным баритоном поддакивал Тетюев, рассматривая охмелевшего Прозорова через очки. — А я, знаете, несколько иначе думал об этом генерале Блинове...

— Да что вам дался этот генерал Блинов? — закончил Прозоров уже пьяным языком. — Блинов... хе-хе!.. это великий человек на малые дела... Да!.. Это... Да ну, черт с ним совсем! А все-таки какое странное совпадение обстоятельств: а женщина в голубых одеждах приходила утру глубоку... Да!.. Чер-рт побери... Знает кошка, чье мясо съела. А мне плевать.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз, —

декламировал старик, склоняясь на по-

душку дивана.

— Отдохните здесь, Виталий Кузьмич.

— И то добре… «Звезды сияют во мраке их глаз»… Недурно сказано… Чисто восточная форма сравнения, а в этом анафемском «сияют» — настоящая музыка! Хе-хе!.. Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь! фюить…

И погибнет священная Троя,
И град копьеносца Приама священный…

Глава 5

Отдыхать у Тетюева Прозоров, однако, не остался, а побрел домой, «под свою смоковницу», как он объяснил своим заплетавшимся языком.

— Блинов едет… Великий человек едет!.. Ха-ха… — думал вслух Прозоров, нетвердой походкой приближаясь к своему жилищу. — Светило науки, финансист… Х-ха!.. Лукреция?

— Опять нализался?.. — сердито встретила отца Луша, помогая ему добраться до своего кабинета.

— М-мы завтракали, Лукреция... Авдей Никитич — хороший человек... Он... он задаст перцеазра с горошком царице Раисе. Х-ха... А Майзель — дурак... солдафон!..

Пошатываясь на месте, Прозоров изобразил дочери надутую фигуру русского немца. В следующий момент он представил вытянутую и сутуловатую «натуру» доктора и засмеялся своим детским смехом.

— А что, Лукреция, Яшка Кормилицын все еще ухаживает за тобой? Ах, бисов сын! Ну, да ничего, дело житейское, а он парень хороший — как раз под дамское седло годится. А все-таки враг горами качает:

Мой совет: до о-обрученья
Две-ерь не отворя-ай!
Две-ерь не от-воо-ря-аай... —

хрипло пропел Прозоров арию Мефистофеля.

— Ты слышал, папа, что сюда едет Лаптев? — перебила Луша пьяную болтовню старика.

— Слышал... Его тащит сюда на буксире генерал Блинов... Царица Раиса нарочно прибе-

гала ко мне утром выведать кое-что о Блинове. Уж я ей врал-врал... Потом Тетюев тоже стороной выпытывал, и тому врал сторицей. Вот, Лукреция, поучайся житейской философии: когда-то Блинов... Ну, да что об этом говорить: плевать!.. Наше время другое было: идеалисты были, эстетики... На хороших словах помешались... Вам это даже слушать скучно, а мы обливались кровью над разными красивыми благоглупостями. Посвящали себя служению истине, добру и красоте, а вместо того вышло — распивочно и навынос... Ха-а!.. Лукреция:

На щеках, как в жаркое лето,
Румянец, пылая, горит...
А сердце морозом одето,
И зимний там холод стоит.

— Будет, папа, ложись и выспись сначала. Твои стихи давно и всем надоели...

— Нет, постой, это Гейне стихи. Шалишь... Ты слушай:

Верь, милая! время настанет,
Время придет,
И солнце в сердечко заглянет,
И щечки морозом зальет!..

Гейне... О! это была такая шельма, Лукреция... это... это... ну, в ваше архиреальное время никто не напишет таких стихов! — болтал старик, обращаясь в пространство.

Девушка прошла в свою комнату, которая выходила в сад, села к окну и заплакала. Болтовня пьяного отца переполнила чашу. Разговоры Раисы Павловны привели Лушу в самое возбужденное состояние, и она ушла из господского дома в каком-то тумане, унося в душе жгучую жажду иной жизни, о какой могла только мечтать. Действительность слишком мало отвечала этим мечтам; напротив, она шла вразрез с теми идеальными постройками, какие сложились в голове семнадцатилетней девушки. Жажда богатства, наслаждений, веселья — вот что теперь сладко кружило голову Луши, а тут полугнилой флигель, нищенская обстановка, позорная бедность в каждом углу, полусумасшедший пьяница-отец и какой-то идиот-поклонник, в лице доктора Кормилицына. Тут было от чего заплакать... Луша теперь ненавидела даже воздух, которым дышала: он, казалось ей, тоже был насыщен той бедностью, какая обошла

флигелек Прозорова со всех сторон, пряталась в каждой складке более чем скромных платьев Луши, вместе с пылью покрывала полинялые цветы ее летней соломенной шляпы, выглядывала в отверстия проносившихся прюнелевых ботинок и сквозила в каждую щель, в каждое отверстие.

Стоило ли жить так, как она жила? — думала девушка. Это какое-то прозябание, хуже — медленное разложение, как гниет где-нибудь в сыром углу плесень. И в то же время Раиса Павловна наслаждается всеми благами жизни, царствует в полном смысле этого слова. Кораллы, которые Раиса Павловна утром предлагала Луше, еще раз подняли в ней всю желчь; молодая гордость заколотила у нее в душе. Разве она нищая, чтобы принимать подарки от Раисы Павловны? Разве ей нужны эти безделушки? Нет, она задыхалась под наплывом не таких желаний: уж если роскошь — так настоящая роскошь, а не эти лохмотья роскоши, которые хуже ее бедности. В Луше теперь с страшной силой заговорил тот разлагающий элемент, который шаг за шагом незаметно привила к ней Раиса Павловна.

«А тут еще Яшка Кормилицын... — со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по комнате из угла в угол. — Вот это было бы мило: madame Кормилицына, Гликерия Витальевна Кормилицына... Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть... Нужно быть идиоткой, чтобы слушать этого долговолосого дурня...»

Подойдя к зеркалу, Луша невольно рассмеялась своей патетической реплике. На нее из зеркала с сдвинутыми бровями гневно смотрело такое красивое, свежее лицо, от недавних слез сделавшееся еще краше, как трава после весеннего дождя. Луша улыбнулась себе в зеркало и капризно топнула ногой в дырявой ботинке: такая редкая типичная красота требовала слишком изящной и дорогой оправы.

Чтобы понять странные мысли Луши, мы должны обратиться к самому Прозорову.

Это был замечательный человек в том отношении, что принадлежал к совершенно особенному типу, который, вероятно, встречается только на Руси: Прозорова заело красное словцо... С блестящими способностями, с

счастливой наружностью в молодые годы, с университетским образованием, он кончил тем, что доживал свои дни в страшной глуши, на копеечном жалованье. Из богатой, но разорившейся помещичьей семьи по происхождению, Прозоров унаследовал привычки и замашки широкой русской натуры. Еще ребенком он поражал учителей своим светлым, бойким умом; в университете около него группировался целый кружок молодежи; первые житейские дебюты обещали ему блестящую будущность. «Прозоров далеко пойдет» — было общим мнением учителей и товарищей. Внимание женщин сопровождало каждый шаг молодого счастливца, который был так умен, находчив, остер и с таким редким талантом читал лучших поэтов. Прозоров готовился к университетской кафедре, где ему пророчили судьбу второго Грановского. Только один старичок профессор, к которому молодой магистрант иногда обращался за разными советами по поводу своей магистерской диссертации, в минуту откровенности прямо высказал Прозорову: «Эх, Виталий Кузьмич, Виталий Кузьмич... Хороший вы че-

ловек, и мне вас жаль!» — «Что так?» — «Да так... Ничего из вас не выйдет, Виталий Кузьмич». Этот профессор принадлежал к университетским замухрышкам, которые всю жизнь тянут самую неблагодарную лямку: работают за десятерых, не пользуются благами жизни и кончают тем, что оставляют после себя несколько томов исследования о каком-нибудь греческом придыхании и голодную семью. Товарищи-профессора относятся к таким замухрышкам с сдержанным чувством ученого презрения, студенты свысока, — и вдруг именно такой замухрышка делает Виталию Прозорову, будущему Грановскому, такое обидное предсказание. В первый момент вся кровь бросилась в голову Прозорову, но он сдержал себя и с принужденной улыбкой спросил: «На каком же основании вы заживо меня хороните, N*. N*.?» — «Да как вам сказать... Одним словом, вы принадлежите к людям, про которых говорят, что в них бочка меду, да ложка дегтя».

Вся дальнейшая карьера Прозорова служила точно оправданием этого глупого пророчества. Началось с того, что Прозоров для перво-

го раза «разошелся» с университетским начальством из-за самого ничтожного повода: он за глаза сострил над профессором, под руководством которого работал. Профессор смолчал, но вступились товарищи и провалили магистерскую диссертацию будущего Грановского по всем правилам искусства. От такой неожиданности Прозоров сначала опешил, а потом решился идти напролом, то есть взять магистра с бою, по рецепту Тамерлана, который учился своим военным успехам у «мравия», сорок раз втаскивавшего зерно в гору и сорок раз свалившегося с ним, но все-таки втащившего его в сорок первый. Но, как на грех, в это время ему подвернулась одна девушка из хорошего семейства, которая отнеслась с большим сочувствием к его ученому горю. В отношениях с женщинами Прозоров держал себя очень свободно, а тут его точно враг попутал: в одно прекрасное утро он женился на сочувствовавшей ему девушке, точно для того только, чтобы через несколько дней сделать очень неприятное открытие, — именно, что он сделал величайшую и бесповоротную глупость... Он даже не любил своей

жены, как припомнил после, а просто женился на ней от неожиданного огорчения.

К счастью Прозорова, жена ему попалась умная и с твердым характером. Она очень много поддерживала мужа, но все-таки не могла его дотянуть до профессорской кафедры. Как все бесхарактерные люди, Прозоров во всех своих неудачах стал обвинять жену, которая мешала ему работать и постепенно низвела его с его ученой высоты до собственного среднего уровня. В течение десяти лет Прозорову привелось переменить больше десятка служебных мест. Сначала он обыкновенно легко осваивался с своим новым положением и новыми товарищами, а потом неожиданно возникало какое-нибудь препятствие, и Прозоров, в счастливом случае, когда его не выгоняли со службы, сам убирался по-добру-поздорову. Таким образом, Прозоров успел послужить учителем в трех мужских гимназиях и в двух женских, потом был чиновником министерства финансов, из министерства финансов попал в один из женских институтов и т. д. И везде Прозоров был прежде всего сам виноват, то есть непремен-

но что-нибудь сболтнет лишнее, посмеется над начальством, устроит каверзу. В конце концов он решил, что служить на коронной службе не стоит и, не долго думая, перешел на частную. Тут уж ему пришлось совсем плохо, тем более что никакой подходящей профессии он не мог себе подыскать и бестолково толкался между крупными промышленниками. В это тяжелое время он получил свою дурную привычку утешаться в холостой компании, где сначала пили шампанское, а потом спускались до сивухи.

Жена Прозорова скоро разглядела своего мужа и мирилась с своей мудреной долей только ради детей. Мужа она уважала как пассивно-честного человека, но в его уме разочаровалась окончательно. Так они жили год за годом с скрытым недовольством друг против друга, связанные привычкой и детьми. Вероятно, они так дотянули бы до естественной развязки, какая необходимо наступает для всякого, но, к несчастью их обоих, выпал новый случай, который перевернул все вверх дном.

В один из самых тяжелых моментов своего

мудреного существования, когда Прозоров целых полгода оставался без всяких средств и чуть не сморил семьи голодом, ему предложили урок в очень фешенебельном аристократическом семействе, — именно: предложили преподавать русскую словесность скучавшей малокровной барышне, типичной представительнице вырождавшейся аристократической семьи. Здесь Прозоров развернулся и по обыкновению показал товар лицом: его приличные манеры, остроты, находчивость и декламация открыли ему место своего человека и почти друга дома. Аристократическая обстановка богатого барского дома совсем опьянила увлекающуюся натуру Прозорова, тем более что для сравнения с ней вставало собственное полунищенское существование. Сделавшись почти своим человеком в доме, где он был совсем на особых правах, Прозоров позабыл, что он семейный человек и не в шутку увлекся одной барышней, которая жила у его патронов воспитанницей. Это и была Раиса Павловна, или, как ее там называли, Раечка. Стихи и самая непринужденная французская болтовня настолько

сблизили молодых людей, что белокурая Раечка первая открыла чувства, какие питала к Прозорову, и не остановилась перед их реальным осуществлением даже тогда, когда узнала, что Прозоров не свободный человек. Умная, нылкая, с пикантным оттенком гривуазности[55], она очертя голову отдалась Прозорову и быстро забрала его в свои бархатные руки. Эти интимные отношения, конечно, открылись; Раечку кое-как пристроили за инженера Горемыкина, а Прозорову пришлось вернуться к своим пенатам.

Как это нередко случается, жена Прозорова узнала последняя о разыгравшемся романе. Эта женщина слишком много перенесла в жизни, чтобы простить мужу ничем не заслуженное оскорбление, и разошлась с ним. Прозоров и здесь сыграл самую жалкую, бесхарактерную роль: валялся в ногах, плакал, рвал на себе волосы, вымаливая прощение, и, вероятно, добился бы обидного для всякого другого мужчины снисхождения, если бы Раиса Павловна забыла его. Но эта женщина хорошо помнила свою первую любовь и не выпускала Прозорова из вида. Явившись к Про-

зоровой, она сама объяснила ей все и устроила окончательный разрыв между супругами. Расставшись с мужем, жена Прозорова несколько лет перебивалась в столице уроками и кончила свою незадавшуюся жизнь скоротечной чахоткой. Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения ее памяти исправиться, но не мог никак освободиться от влияния Раисы Павловны, которая не выпускала его из своих рук. Это были самые странные отношения, какие только можно себе представить: Раиса Павловна ненавидела Прозорова и всюду тащила его за собой, заставляя опускаться все ниже и ниже. Неудачный декламатор очутился в положении самого тяжелого рабства, которое он не в силах был разорвать и которое он всюду таскал за собой, как каторжник таскает прикованное к ноге ядро. Когда Горемыкины поехали на Урал, Прозорову было приказано ехать туда же, где для него специально было создано место инспектора заводских школ. Раиса Павловна не умела прощать и заживо похоронила свою первую любовь в гнилом флигельке

кукарского господского дома.

У Прозорова после жены осталась маленькая дочь, Луша, которая вместе с отцом переживала все невзгоды его цыганского существования. Это был восприимчивый, впечатлительный ребенок, к своему несчастью унаследовавший от отца его счастливую наружность и известную дозу того дегтя, каким был испорчен отцовский мед. Прозоров, несмотря на все свои недостатки, отлично понимал сложный характер подраставшей девочки и решился переломить природу воспитанием. Свою педагогическую деятельность он начал с того, что переодел девочку мальчиком, точно в женском костюме таились все напасти и злобы, какими была отравлена жизнь Прозорова. Затем, с четырех лет он принялся проделывать на Луше все входившие в моду педагогические новинки: читать Луша училась по звуковому методу, играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци и т. д. Недостаток Прозоровского воспитания заключался в том, что он не мог выдержать характера в своих занятиях: то надсаживался и лез из кожи, то забывал о

дочери на целый месяц. Девочка, пока была маленькой, мирилась с своим мужским костюмом, но с Фребелем и Песталоцци повела самую упорную, партизанскую войну, какую умеют вести только дети. А когда она подросла, Прозоров, к своему ужасу, убедился в той печальной истине, что его Лукреция увлеклась бантиками и ленточками гораздо больше тех девочек, которые всегда ходили в женских платьях.

Интересно проследить взаимные отношения между Лушей и Раисой Павловной. В первый момент, когда Раиса Павловна увидала маленькую девочку-сиротку, она почувствовала к ней почти органическую ненависть. Ребенок искал матери и с детской наивностью несколько раз ласкался к единственной женщине, которая напоминала ему мать. Но Раиса Павловна грубо и почти цинически отталкивала от себя эти доверчиво тянувшиеся к ней детские руки: она ненавидела эту девочку, которая для нее являлась всегда живым укором. Луша, как многие другие заброшенные дети, росла и развивалась наперекор всяким невзгодам своего детского существо-

вания и к десяти годам совсем выровнялась, превратившись в красивого и цветущего ребенка. Самая красота подраставшей Луши бесила Раису Павловну, и она с удовольствием по целым часам дразнила и мучила беззащитную девочку, которая слишком рано для своего возраста привыкла скрывать все свои душевные движения.

— Какая ты, Лукерка, упрямая, — удивлялась иногда Раиса Павловна. — Настоящая дикарка!

Девочка отмалчивалась в счастливом случае или убегала от своей мучительницы со слезами на глазах. Именно эти слезы и нужны были Раисе Павловне: они точно успокаивали в ней того беса, который мучил ее. Каждая ленточка, каждый бантик, каждое грязное пятно, не говоря уже о мужском костюме Луши, — все это доставляло Раисе Павловне обильный материал для самых тонких насмешек и сарказмов. Прозоров часто бывал свидетелем этой травли и относился к ней с своей обычной пассивностью.

Луше было двенадцать лет, когда в ее жизни произошел крупный переворот: раньше

она бежала от преследований Раисы Павловны, теперь должна была бежать от ее ласк. Это случилось как-то вдруг. Раз летом, когда Раиса Павловна делала свой обычный предобеденный моцион по саду, она случайно забрела в самый глухой конец сада, куда редко заходила. На повороте одной аллеи она услышала чей-то шепот и сдержанный смех. Это, конечно, ее заинтересовало, а в следующий момент Раиса Павловна уже подкрадывалась к тому таинственному зеленому уголку, где ожидала вспугнуть влюбленную парочку. Действительно, разговаривали два голоса: один — детский, другой — женский. Раздвинув осторожно последний куст смородины, Раиса Павловна увидела такую картину: в самом углу сада, у каменной небеленой стены, прямо на земле сидела Луша в своем запачканном ситцевом платьице и стоптанных башмаках; перед ней на разложенных в ряд кирпичах сидело несколько скверных кукол. Девочка разговаривала за всех разом, подавала реплики и вперемешку вставляла свои собственные замечания. Она ухитрилась даже сохранять интонацию всех действующих лиц.

На сцене фигурировало четверо: папа, мама, Раиса Павловна и сама Луша.

— Я не люблю папу, потому что он боится Раисы Павловны, — говорила кукла Луша. — Когда я вырасту большая, я откушу вам нос, Раиса Павловна! У меня будут хорошие платья, много, много лент и такой же браслет, как у Раисы Павловны. Какая она злая... папа зовет ее старой крымзой... Ххи-ххи-и!.. Ну, старая крымза, сиди смирно, пока я тебе не откусила нос. И коса у тебя фальшивая, и зубы фальшивые, и глаза подведены. Ах! как я тебя не люблю! А когда вырасту большая, поеду к маме... Мама ведь добрая, не такая, как папа. Мамочка, я приеду к тебе в гости... Ты обрадуешься мне... да?.. Не будешь смеяться надо мной, как Раиса Павловна? Славная ты моя, голубушка... Мы тогда прогоним Раису Павловну и будем жить вместе. Я выйду замуж за офицера с черными усами.

Вся эта детская беззаботная болтовня, как в фокусе, сосредоточивалась в одном магическом слове: мама... От него уже лучами расходились во все стороны детские грезы, воспоминания, радости и огорчения. В этом лепете

звучало столько любви, чистой и бескорыстной, какая может жить только в чистом детском сердце, еще не омраченном ни одним дурным желанием больших людей. Так блестит алмазной яркой искрой капля ночной росы где-нибудь в густой траве, пока не сольется с другими такими же каплями и не попадется в ближайший мутный ручеек...

Раиса Павловна не помнила, сколько прошло времени, пока она слушала маленькую глупую девочку. От этого детского лепета у ней точно что оборвалось и растаяло в груди. Домой она вернулась бледная и взволнованная, с красными глазами. Целую ночь затем ей снился тот зеленый уголок, в котором притаился целый детский мир с своей великой любовью. «Злая... ведьма...» — стояли у ней в ушах роковые слова, и во сне она чувствовала, как все лицо у ней горело огнем и в глазах накипали слезы. Она хотела обнять эту маленькую девочку, но та ловко скрывалась и убегала. Этот сон повторился, и Раиса Павловна не могла избавиться от него наяву. Что-то такое новое, хорошее, еще не испытанное проснулось у ней в груди, не в душе, а имен-

но — в груди, где теперь вставала с страшной силой жгучая потребность не того, что зовут любовью, а более сильное и могучее чувство... Оно подавляло ее своей необъятностью, все остальное казалось таким жалким и ничтожным. Под наплывом этих ощущений Раиса Павловна сделала первый шаг к сближению с Лушей и сразу получила молчаливый, но глухой отпор. Луша с светлым инстинктом детства отстаивала неприкосновенность своего крошечного мирка, может быть слишком рано выкроившегося из пестрой смеси самых разнообразных впечатлений. Эта маленькая девочка каким-то чутьем разгадала истинные отношения своего отца к Раисе Павловне и почувствовала к ней непреодолимое отвращение, хотя в то же время, по странному психологическому процессу, в присутствии этой женщины каждый раз испытывала какое-то болезненное влечение к ней.

Если бы маленькая девочка с первого раза сдалась на ласки Раисы Павловны, тогда, по всей вероятности, это увлечение так же скоро прошло бы, как оно родилось. Но упорство Лу-

ши и ее недоверчивость только сильнее разжигали Раису Павловну: она, перед которой ползали и заискивали сотни людей, она бессильна перед какой-нибудь девчонкой... Самолюбивая до крайности, она готова была возненавидеть свою фаворитку, если бы это было в ее воле: Раиса Павловна, не обманывая себя, со страхом видела, как она в Луше жаждет долюбить то, что потеряла когда-то в ее отце, как переживает с ней свою вторую весну. Это чувство являлось результатом очень сложной душевной комбинации, составные нити которой проходили через целую жизнь.

Вот молодость Раисы Павловны, молодость в чужом богатом доме, где она испытала все прелести существования из милости. А между тем она была молода, хороша собой, умна, энергична. Случай с Прозоровым выкинул бы ее прямо на улицу, если бы не подвернулся Горемыкин, за которого она вышла замуж. Мужа она никогда не любила, а смотрела на него только как на мужа, то есть как на печальную необходимость, без которой, к сожалению, обойтись было нельзя. Платон Васи-

льич был честный и хороший человек, но он слишком был занят своей специальностью, которой посвящал почти все свое свободное время. По всей вероятности, ему, как многим другим труженикам, никогда не привелось бы играть никакой выдающейся роли. Таких «черноделов» много во всяких специальностях. Но Раиса Павловна не могла помириться с такой скромной долей и собственными силами потащила мужа в гору. Это была трудная работа, сопровождавшаяся неудачами и разочарованиями на каждом шагу. Стараясь при помощи разных протекций и специально женских интриг составить карьеру мужу, Раиса Павловна случайно познакомилась с Прейном, который сразу увлекся белокурой красавицей, обладавшей тем счастливым «колоритным темпераментом», какой так ценится всеми пресыщенными людьми. О любви тут, конечно, не могло быть речи, но Раиса Павловна была молода, полна сил и переживала опасный душевный момент, когда настоящее было неизвестно, а будущее темно. Что происходило и произошло ли что-нибудь серьезное между ними — сказать трудно, но это

знакомство совпало как раз с эмансипацией, и Горемыкин получил место главного управляющего Кукарских заводов. Много прошло времени с тех пор. Раиса Павловна успела утратить одно за другим все свои женские достоинства, оставшись при одном колоритном темпераменте и беспокойном, озлобленном уме, который вечно чего-то искал и не находил удовлетворения. Полнота окончательно погубила и то последнее, что сохраняется красивыми женщинами от счастливой молодой поры. Но Прейн, несмотря на самые очевидные доказательства этих геологических переворотов, продолжал сохранять прежние дружеские отношения к Раисе Павловне, хотя успел за этот длинный период времени подарить своими симпатиями десятки других красивых женщин.

— Все эти мужчины, все до одного — подлецы! — таков был общий знаменатель, к которому пришла Раиса Павловна.

В Луше, таким образом, для Раисы Павловны сосредоточивались и подавленная жажда неудовлетворенного чувства и чисто материнские отношения, каких она совсем не ис-

пытала, потому что не имела детей. Когда прямая атака не удалась, Раиса Павловна пошла к своей цели обходным движением: она принялась исподволь воспитывать эту девочку, платившую ей самой черной неблагодарностью за все хлопоты. Капля за каплей она прививала девочке свой мизантропический взгляд на жизнь и людей, стараясь этим путем застраховать ее от всяких опасностей; в каждом деле она старалась показать прежде всего его черпую сторону, а в людях — их недостатки и пороки. Такая политика, конечно, принесла самые быстрые плоды: Луша бессознательно копировала во всем свою воспитательницу и удивляла отца своими резкими выходками и недевичьей проницательностью. Только в одном ученица и воспитательница расходились диаметрально: это было непреодолимое тяготение Луши к богатству. Но и этот недостаток в глазах Раисы Павловны вполне выкупался тем, что девушка была далеко от сорочьей жадности обыкновенных людишек. Ее трудно было купить теми блестящими безделушками, за которые продаются женщины. Сама Раиса Павловна любила не

богатство, а власть.

Глава 6

Все время, пока Родион Антоныч возвращался в своей зеленой тележке из господского дома домой, он вздыхал, делал кислые гримасы и морщился. Он был так удручен волновавшими его мыслями, что даже не замечал попадавшихся навстречу знакомых служащих и снимавших шляпы рабочих. В таком прескверном настроении Родион Антоныч миновал главную заводскую площадь, на которую выходило своим фасадом «Главное кукарское заводоуправление», спустился под гору, где весело бурлила бойкая река Кукарка, и затем, обогнув красную кирпичную стену заводских фабрик, повернул к пруду, в широкую зеленую улицу.

«Уж Прохор Сазоныч недаром помянул про меня в письме к Раисе Павловне, — с горечью думал Родион Антоныч, когда тележка мягко подкатилась к большому двухэтажному каменному дому, упиравшемуся тенистым садом прямо в пруд. — Ох, недаром... «Она настроена в особенности против Сахарова», —

повторил про себя Родион Антоныч слова письма. — Вот не было печали, а тут на, расхлебывай... И чего ей понадобилось от меня? Ох-хо-хо!.. Да и какая там особа... Шлюха какая-нибудь примазалась к этому генералу Блинову и теперь всем и вертит. Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...»

Старичок дворник торопливо распахнул перед зеленой тележкой крепкие ворота, и она мирно подкатилась к раскрашенному деревянному подъезду, откуда как угорелый выскочил великолепный белый сеттер с желтыми подпалинами. Собака с радостным визгом металась около хозяина и успела выбить у него изо рта сигару, пока он грузно вылезал из своей тележки.

— Ох, не до тебя, Зарез... отстань! — стонал Родион Антоныч, хозяйским всевидящим оком оглядывая усыпанный желтым песочком и чисто подметенный широкий двор, конюшни, где торчала лошадиная голова, и ряд хозяйственных пристроек.

— Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешанинки, — проговорил он, обращаясь к дворнику. — Да тележку-то смазать надо, а то

заднее левое колесо все поскрипывает... Ох, ничего вы не смотрите, погляжу я, все скажи да все укажи!.. Курочкам-то, курочкам-то задали ли корму даве, как я уехал?

— Обыкновенно, Родион Антоныч, все как следует, — каким-то убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая. — Курочки любят овес-от...

— Любят, любят... И ты вот тоже любишь его, Архипушка. Любишь ведь? Половину курочкам, а половину себе... Ох, за всеми за вами глаз да глаз нужен!

Архипушка только переминался на одном месте и почесывал в затылке, пока Родион Антоныч не прикрикнул на него:

— Ну, чего ты статуем-то торчишь передо мною? Вон и кучер, глядя на тебя, тоже вытаращил глаза. Откладывайте лошадку да к столбу и привяжите. Пусть выстоится!

После этого нравоучения Родион Антоныч поднялся к себе наверх, в кабинет, бережно снял камлотовую крылатку, повесил ее в угол на гвоздик и посмотрел кругом взглядом человека, который что-то потерял и даже не может припомнить хорошенько, что именно.

«Ах, да... едет Лаптев на заводы», — мелькнуло в голове Родиона Антоновича, когда он принялся раскуривать потухшую сигару. Эта мысль завертелась опять в его голове, как жестяное колесо в вентиляторе. Собственно Лаптева Родион Антоныч, нисколько не боялся и даже был рад его видеть, а вот эта особа, которая едет с генералом Блиновым... О, чтоб пусто было всем этим бабам!.. Родион Антоныч с тоской посмотрел на расписной потолок своего кабинета, на расписанные трафаретом стены, на шелковые оконные драпировки, на картину заводского пруда и облепивших его домиков, которая точно была нарочно вставлена в раму окна, и у него еще тяжелее засосало под ложечкой. На стене, у которой стояла удобная кушетка, было развешано несколько хороших охотничьих ружей: пара бельгийских двустволок, шведский штуцер, тульская дробовка и даже «американка», то есть американский штуцер Пибоди и Мартини. Этот арсенал был красиво гарнирован различной охотничьей сбруей — ягдташами, патронницами, пороховницами, кожаными мешками с дробью, сумками и сумочками —

вообще всякой охотничьей дрянью, назначение которой известно только записным охотникам.

«А я еще обещал на неделе ехать с Ильей Сергепчем за дупелями, — думал Родион Антоныч, взглянув на свои ружья, — вот тебе и дупеля... Ох-хо-хо!..»

По обстановке кабинета трудно было определить профессию его хозяина. О его секретарской деятельности говорил только стеклянный шкаф, плотно набитый какими-то канцелярскими делами, да несколько томиков разных законов, сложенных на письменном столе в пирамиду. Стеклянная старинная чернильница с гусиными перьями — Родион Антоныч не признавал стальных — говорила о той патриархальности, когда добрые люди всякой писаной бумаги, если только она не относилась к чему-нибудь божественному, боялись, как огня, и боялись не без основания, потому что из таких чернильниц много вылилось всяких зол и напастей. Чернильница Родиона Антоныча тоже могла бы много-много рассказать о своей деятельности. Сначала она стояла в заводской конторе, куда

попал Родион Антоныч крепостным писцом на три с полтиной жалованья; потом Родион Антоныч присвоил ее себе и перенес на край завода, в бедную каморку, сырую и вонючую. Дальше эта чернильница видела целый ряд метаморфоз, пока не попала окончательно в расписной кабинет, где все дышало настоящим тугим довольством, как умеют жить только крепкие русские люди. В крепостное время из этой чернильницы выходило много головомоек управителям и служащим, но тогда она не имела самостоятельного значения, а только служила орудием неистовавшего старика Тетюева. Настоящее дело для нее наступило с эпохой освобождения, когда на месте Тетюева водворилась Раиса Павловна, и Родион Антоныч обязан был представлять массу докладных записок, отдельных мнений, проектов, соображений и планов.

Вот из этой же чернильницы велись подкопы под Тетюева-сына, когда он, в пику кукарскому заводоуправителю, занял пост председателя земской управы, чтобы донимать заводы разными новыми статьями земских налогов. Да, эта чернильница много испортила

крови Авдею Никитичу, а теперь Авдей Никитич всем животы подвел: выписал какого-то генерала Блинова да еще и с «особой»... «И ведь прямо, бестия этакая, на меня указал, — раздумывал Родион Антоныч. — А то откуда этой шлюхе знать о каком-то Сахарове... Конечно, это Авдей Никитич всю механику подвел. Его работа...»

«И ведь как все вдруг случилось: трах — и всему конец. Уж, кажется, Раиса ли Павловна не крепко сидит на своем месте, и вот нашлась же и на нее гроза». Сахаров крепко задумался. Целую жизнь он прожил в качестве маленького человека за чужой спиной и вдруг почувствовал, как стена, на которую он упирался столько лет, начинает пошатываться и того гляди рухнет да еще и его задавит. А чем он виноват? Он маленький человек и целую жизнь только и знал, что творил волю пославшего. Конечно, крепко солил Тетюеву и не раз ему подставлял ножку, но ведь это он делал не для собственного удовольствия, а потому, что так хотела Раиса Павловна. Ведь Тетюев...

— Зарежет вас с Раисой Павловной этот Те-

тюев! — шептал какой-то предательский голос.

Как для всех слишком практических людей, для Сахарова его настоящее неопределенное положение было хуже всего: уж лучше бы знать, что все пропало, чем эта проклятая неизвестность. Ну, Тетюев так Тетюев... Чем он хуже Раисы Павловны? Нужно же и ему пожить, не век мыкаться председателем управы. И Тетюев не пропадет, и Раиса Павловна тоже, а вот он, Родион Антоныч, чем виноват, что им стало тесно жить на белом свете! Припоминая свои подходы под Тетюева, Родион Антоныч теперь от чистого сердца скорбел о том, что не принял заблаговременно во внимание переменчивости человеческого счастья... И как было не подумать: вчера Раиса Павловна, сегодня Раиса Павловна, все это хорошо! — вдруг послезавтра Авдей Никитич Тетюев. «Ох, не ладно! — застонал про себя Родион Антоныч. — Сморит он, если крылья отрастут. В батюшку, видно, пошел, хоть и не с того конца. А кто бы мог подумать? И Раиса Павловна тоже говорила: «Тетюев — болтун, Тетюев — недоносок...» Ох, Ра-

иса Павловна, Раиса Павловна!»

Целый день Родиона Антоныча был испорчен: везде и все было неладно, все не так, как раньше. Кофе был пережарен, сливки пригорели; за обедом говядину подали пересушенную, даже сигара, и та сегодня как-то немного воняла, хотя Родион Антоныч постоянно курил сигары по шести рублей сотня.

— Да что ты на всех сегодня кидаешься, точно угорел! — заметила наконец Родиону Антонычу жена, когда он своему любимцу Зарезу дал здорового пинка.

— Я-то не угорел... гм... — опомнился Родион Антоныч, начиная гладить напрасно обиженную собаку. — Вот как бы мы все не угорели, матушка. Тетюев-то...

— Что Тетюев?

— Ах, отстань. Не твоего бабьего ума дело...

Мысль о Тетюеве и генерале Блинове просто давила Родиона Антоныча, и он напрасно бегал от нее по своему расписанному дому. Везде было хорошо, уютно, светло, но от этого Родиону Антонычу делалось еще тяжелее, точно пред ним живьем вставала та темнота, из которой возникало настоящее великоле-

пие и довольство. Да и было от чего застонать: место под дом Родиону Антонычу подарил один подрядчик, которому он устроил деловое свидание с Раисой Павловной. Давно приглядывался к этому местечку Родион Антоныч — ах, хорошее было местечко: с садом у самого пруда! — а тут сам бог и нанес подрядчика; камень и кирпич поставил при случае другой подрядчик, когда пристраивали флигель к господскому дому. И подрядчик не в накладе остался, да и Родион Антоныч даром получил материал; железо на крышу, скобки да гвоздики были припасены еще заранее, когда Родион Антоныч был еще только магазинером, — из остатков и разной заводской «ветхости»; лес на службы и всякое прочее обзаведение привезли сами лесообъездчики тоже ни за грош, потому что Родион Антоныч, несмотря на свою официальную слепоту, постоянно ездил с Майзелем за дупелями. Дом клали из даровых кирпичей, штукатурили, крыли крышей, красили, украшали — все это делалось при случае разными нужными людьми, которые сами после приходили благодарить Родиона Антоныча и ве-

личали его в глаза и за глаза благодетелем. А разве кого Родион Антоныч притеснил, обидел? Все сами делали... Еще Родион Антоныч не успел подумать, а нужный человек уж говорит: «Родной Антоныч, вам бы крышку-то малахитцом покрасить... Оно бы в лучшем виде, потому как там течь и всякое прочее!» Глядишь, крыша и выкрашена даром, да еще нужный же человек и благодарит, что ему позволили испытать такое удовольствие. Все делалось как-то само собой — каждый гвоздь сам собой лез в стену, песочек, глинка, известочка и прочая строительная благодать тоже сама собой тащилась с разных сторон к дому, — и вдруг все это начнет расползаться в разные стороны — тоже само собой. Родион Антоныч живо видел все каверзы и проделки, при которых созидал свое настоящее; он считал их давно похороненными и забытыми, и вдруг какая-нибудь пройдоха примется раскапывать всю подноготную! При одной мысли о такой возможности Родиона Аитоныча прошибал холодный пот, хотя в душе он считал себя бессребреником, что выводилось, впрочем, сравнительно: другие-то разве так рвали,

да сходило с рук! Хотя бывали примеры и другого рода. Недалеко ходить, взять хоть того же старика Тетюева: уж у него-то был не дом — чаша полная, — а что осталось? — так, пустяки разные: стены да мебелишка сборная. Разве Авдей Никитич поправит... Ох, этот Авдей Никитич! Из каждой щели теперь смотрел на Родиона Антоныча этот страшный призрак, заставляя его вздрагивать.

— Что же, я ограбил кого? украл? — спрашивал он самого себя и нигде не находил обвиняющих ответов. — Если бы украсть — разве я стал бы руки марать о такие пустяки?.. Уж украсть так украсть, а то... Ах ты, господи, господи!.. Потом да кровью все наживал, а теперь вот под грозу попал.

Что ни делал Родион Антоныч, он никак не мог успокоиться. Даже в курятнике, куда он зашел по привычке, все было не по-старому: все эти кохинхинки, куропаточные, «галанки», бойцовые сегодня точно сговорились вывести его из терпения. Драка, беспорядок, отчаянное кудахтанье. В этом птичьем гаме Родиону Антонычу все слышались роковые звуки: «Тетюев — Тетюев — Тетюев — Тетю-

ев... Блинов — Блинов — Блинов — Блинов»... Точно в самое ухо забрался какой-то безголовый дьячок и долбит поминанье за поминаньем, как в родительскую субботу. Великолепный брахмапутровый петух, гордость и сладость Родиона Антоныча, выглядел сегодня совсем плохо и только глупо моргал глазами, точно его оглушили. «Уж не окормил ли его кто-нибудь солью?» — подумал Родион Антоныч, но сейчас же спохватился и, махнув рукой, фатально проговорил:

— Все к одному пошло...

Даже ночью, когда Родион Антоныч лежал на одной постели со своей женой, он едва забылся тревожным тяжелым сном, как сейчас же увидал самый глупейший сон, какой только может присниться человеку. Именно, видит Родион Антоныч, что он не Родион Антоныч, а просто... дупель. Как есть, настоящий дупель: нос вытянулся, ноги голенастые, все тело обросло перышками пестренькими. Видит Родион Антоныч, что ходит он по болоту и копает носом вязкую тепловатую тину, и так ему хорошо: в воздухе парит, над ним густая осока колышется, всякая болотная мош-

ка гудит-гудит... И вдруг, его собственный Зарез шасть в это самое болото и давай нюхать. Да ведь как взялся-то, разбойник! картину с него пиши! Вот ближе, ближе... На след напал, вот уж слышно, как он обнюхивает кочки и бултыхает лапами по воде. Дупель припал за кочку и даже закрыл глаза от страху... Ближе, ближе... Собака остановилась над ним и сделала молодецкую стойку! Родион Антоныч хочет взлететь, но никак не может подняться, открывает со страху глаза и вскрикивает: вместо Зареза над ним стоит та особа, о которой писал Загнеткин, а в сторонке покатывается со смеху Тетюев.

Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, судорожно крестил свое толстое, заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на бок.

Глава 7

Округ Кукарских заводов занимал собой территорию в пятьсот тысяч десятин, что равнялось целому германскому княжеству или даже маленькому европейскому королевству. На этом громадном пространстве было разбросано семь заводов: Логовой, Исток, Заозерный, Мельковский, Баламутский, Куржак и Кукарский. Центр заводской тяжести распределялся по заводам, конечно, не одинаково. Главным заводом в административном отношении считался Кукарский, раз — потому, что это был самый старый и самый большой завод, во-вторых, потому, что он занимал центральное положение относительно других заводов. За ним, вторым по важности, следовал Баламутский завод. Он занимал лесной, богатый топливом район и поэтому с каждым годом все шире и шире развивал свои операции. Остальные заводы служили дополнениями этих двух, переделывая черновое железо с Баламутского завода в сортовое. Заозерный существовал только благодаря богатому запасу воды, которая служила неистощимой дви-

гающей силой, а Куржак вырос около богатого железного рудника.

Кукарский завод являлся, таким образом, во главе всех других заводов, их душой и административным сердцем, от которого радиусами разбегались по другим заводам все предписания, ордеры, рапорты и рапортички. Служить на Кукарском заводе, на виду у начальства, считалось завидной честью, о которой мелкая служительская сошка с других заводов иногда напрасно мечтала целую жизнь. Насколько громадное значение имел Кукарский завод, достаточно сказать только то, что во всех заводах, вместе с селами, деревнями и «половинками», считалось до пятидесяти тысяч рабочего населения. В крепостное время из Кукарского завода особенно много налетало напастей по окрестностям: главный управляющий тогда пользовался неограниченной властью и гнул в бараний рог десятки тысяч безответных людей. Кукарского завода боялись и сами приказчики мелких заводов, потому что это был крепостной, подневольный пород. Случалось нередко так, что приказчики попадали «в гору», то есть в железпып руд-

ник, что тогда считалось равносильным каторге. Какой-нибудь Тетюев пользовался княжескими почестями, а насколько сильна была эта выдержка на всех уральских заводах, доказывает одно то, что и теперь при встрече с каждым, одетым «по-городски», старики рабочие почтительно ломают шапки. Только людям «оборотистым», каким был, например, Родион Антоныч, Кукарский завод был настоящей обетованной землей, где можно было добиться всего.

Сын какого-то лесообъездчика, Родион Антоныч первоначальное свое бытие получил в кукарской заводской конторе в качестве крепостного писца, которому выдавалось жалованья три с полтиной на ассигнации в месяц, то есть на наш счет — всего один рубль. Счастье для Сахарова заключалось в том, что он служил в Кукарском заводе и поймал случай попасть на глаза к самому старику Тетюеву. В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах. Под его железной лапой задохлось много даровитых и умных людей, которые не умели подслуживаться и подличать. А для покладистого Родиона

Антоныча такой человек был истинным кладом. Точкой сближения послужило пустое обстоятельство, которое, впрочем, в доброе старое время многих вывело в люди: это обстоятельство — красивый почерк. Нынче уже мало так пишут, что зависит, может быть, оттого, что стальным пером нельзя достичь такого каллиграфического искусства, как гусиным, а может быть, и оттого, что нынче меньше стали ценить один красивый почерк. Одним словом, как-никак, а Сахарова заметили — этого уже было достаточно, чтобы сразу выделиться из приниженной, обезличенной массы крепостных заводских служащих, и Сахаров быстро пошел в гору, то есть из писцов попал прямо в поденные записчики работ, — пост в заводской иерархии довольно видный, особенно для молодого человека.

Но здесь же Сахаров и получил первый жестокий урок за свое излишнее усердие: чтобы выслужиться, он принялся нажимать на рабочих и довел их до того, что в одну темную осеннюю ночь его так поучили, что он пролежал в больнице целый месяц.

— Эх, братец, ты не тово... — весело заме-

тил старик Тетюев, когда выздоровевший Сахаров пришел к нему за приказаниями. — Не везде нужно с маху брать, а ты потихоньку да исподволь тяни...

— Я, Никита Ефремыч, всегда буду исподволь и потихоньку...

— Ну, вот так-то лучше: все люди — все человеки. Мало ли я что вижу, а другой раз и смолчу. Так-то...

Этот урок глубоко запал в душу Родиона Антоныча, так что он к концу крепостного права, по рецепту Тетюева, добился совершенно самостоятельного поста при отправке металлов по реке Межевой. Это было тепленькое местечко, где рвали крупные куши, но Сахаров не зарывался, а тянул свою линию год за годом, помаленьку обгоняя всех своих товарищей и сверстников.

— Хочешь, я тебя приказчиком сделаю в Мельковском заводе? — говорил ему в веселую минуту старик Тетюев. — Главное — ты хоть и воруешь, да потихоньку. Не так, как другие; назначишь его приказчиком, а он и давай надуваться, как мыльный пузырь. Дуется-дуется, глядишь, и лопнул...

Сахаров отказался от такой чести, раз — потому, что караванное дело по части безгрешных доходов было выгоднее, а второе — потому, что не хотел хоронить себя где-нибудь в Мельковском заводе.

— Ну, тебе лучше знать... — согласился нравный старик, благодушествовавший после горячей бани. — Ты и так не пропадешь.

— Я по письменной части больше, Никита Ефремыч...

— Вот и вышел дурак: хочешь околеть с голоду с своей письменной частью! Убирайся с глаз долой!..

Когда Родион Антоныч считал себя совсем на линии, освобождение крестьян чуть не размыло его благополучия вплоть до самого основания.

Погром пошел сверху донизу. Крепостные порядки кончились, и на их место пошли новые. Даровой крепостной труд нужно было заменить трудом наемным, оставляя цифру владельческих доходов нетронутой. Старик Тетюев был совсем негоден для выполнения такой сложной задачи и прочил передать свое место сыну Авдею. Но случилось не так:

сам Тетюев неожиданно получил чистую отставку, хотя и с приличным пенсионом, а на его место, по протекции всесильного Прейна, был назначен Горемыкин. Рассказывали интересный анекдот о том, как выжили Тетюева с места. Отказать заслуженному старику прямо не решались, нужно было подыскать предлог. Специально за этим на заводы выехал Прейн и прожил целое лето, напрасно выжидая, что старый Тетюев догадается и сам подаст в отставку. Может быть, Прей так и уехал бы в Петербург с пустыми руками, а Тетюев остался бы опять царствовать на заводах, но нашелся маленький служащий, который научил, что нужно было сделать. Именно, Прейн назначил внезапную ревизию заводоуправления и послал за Тетюевым как раз в тот момент, когда старик только что сел обедать — самое священное время тетюевского дня. Тетюева взорвало, он наотрез отказался идти в контору и тут же, не выходя из-за стола, подал в отставку. Гордый старик не перенес такого удара и прожил в отставке всего несколько месяцев: его хватил кондрашка. За Тетюевым полетели с своих мест все другие

приказчики, за исключением двух-трех, которые удержались на своих местах каким-то чудом. Родион Антоныч тоже потерял свое место и некоторое время находился совсем не у дел. Реформы, как все реформы, начались с сокращений и урезок: сократили количество служащих, урезали всем жалованье, прибавили работы и т. д. Впрочем, сам Горемыкин в этом случае не был виноват ни душой, ни телом: всем делом верховодила Раиса Павловна, предоставившая мужу специально заводскую часть. Вместо старых крепостных приказчиков везде были понасажены управителями люди, получившие специальное образование, потому что Горемыкин хотел пополнить все ущербы, понесенные отменой крепостного права, расширением заводской производительности. Как специалист-техник и честный человек, он был незаменим. Но в практическом отношении ему недоставало многих качеств. Так, он не умел выбирать людей и часто попадал под влияние очень сомнительных личностей.

— Что же, это очень естественно, что я в каждом прежде всего стараюсь видеть чест-

ного человека, — оправдывался иногда Горемыкин.

— Очень убедительно для всех, кто привык, чтобы его везде водили за нос, — замечала Раиса Павловна с своей стороны.

Чтобы пробить себе дорогу при новом порядке вещей, Сахаров поступил сначала в счетное отделение, которое славилось тем, что здесь служащие, заваленные письменной работой, гибли, как мухи. Конечно, Сахаров мечтал не о такой письменной части и очень скоро попал на настоящую дорогу. Нужно было составлять уставную грамоту, которая для заводов являлась вопросом самой капитальной важности. В это смутное время еще не выяснилось хорошенько, где будут самые больные места совершавшегося акта. Неразрывные до тех пор интересы заводовладельца и мастеровых теперь раскалывались на две неровных половины, причем нужно было вперед угадать, как и где встретятся взаимные интересы, что необходимо обеспечить за собой и чем, ничего не теряя, поступиться в пользу мастеровых. Для решения массы возникших недоразумений и вопросов были

устроены еженедельные съезды новых управителей, которые и выработали после усиленных хлопот проект уставной грамоты. Вот этот-то проект и дал случай Родиону Антонычу после разгрома крепостного права не только вынырнуть из неизвестности, но встать на такую высоту, с которой его уже трудно было столкнуть. Прочитавши проект уставной грамоты, выработанный управительскими съездами, он по поводу его составил собственную докладную записку, в которой очень подробно и основательно разобрал все недостатки выработанного проекта. К докладной записке был приложен собственный проект Родиона Антоныча. Вся эта «история» при помощи хорошего человека была партикулярным путем передана в руки самой Раисы Павловны. Когда эта умная женщина, достаточно умудренная в изворотах и петлях внутренней политики, прочла докладную записку Родиона Антоныча, то пришла положительно в восторженное состояние, хотя такие душевные движения совсем были не в ее натуре.

— Это Мазарини... Нет, Ришелье!.. — воскликнула она несколько раз, перечитывая за-

писку Родиона Антоныча. — Так все предусмотреть и предугадать, — нет, это положительно Ришелье... И какая дьявольски тонкая работа, какая проницательность!..

Первым делом Раисы Павловны было, конечно, сейчас же увидать заводского Ришелье, о котором, как о большинстве мелких служащих, она до сих пор ничего не знала. Непрезентабельный вид Родиона Антоныча и особенно его рабья манера держать себя несколько поохладили восторги Раисы Павловны. Ее аристократическую выдержку сильно шокировали стоны и вздохи вновь явленного Ришелье, который морщился и стонал, как раздавленный. Жирная физиономия и заискивающе-покорные взгляды Родиона Антоныча тоже были не в его пользу, но Раиса Павловна была, как многие умные женщины, немного упряма и не желала разочароваться в своей находке. Она взяла Ришелье таким, каким он явился к ней на выручку в критический момент. В этом случае она поддалась чисто женской слабости, хотя сама же первая смеялась над ней в других людях.

— Как это вы до сих пор пропадали в неиз-

вестности с такой головой? — откровенно удивлялась Раиса Павловна прямо в глаза Родиону Антонычу.

— Темное время было, сударыня-с...

— Зачем вы говорите: «сударыня-с»... Зовите меня по имени.

— Буду стараться, Раиса Павловна-с.

Это «с» немного покоробило Раису Павловну, но с такой маленькой частичкой можно было и помириться.

— При Никите Ефремыче трудно было, суд... Раиса Павловна, особенно, ежели кто был расположен к письменной части. Они самую эту письменную часть, можно сказать, совсем ни во что ставили...

— Да... Но теперь другое время... Извините, все забываю: как вас зовут?

— Родион Антонов.

— Ах, да, Родион Антоныч... Что я хотела сказать? Да, да... Теперь другое время, и вы пригодитесь заводам. У вас есть эта, как вам сказать, ну, общая идея там, что ли... Дело не в названии. Вы взглянули на дело широко, а это-то нам и дорого: и практика и теория смотрят на вещи слишком узко, а у вас счаст-

ливая голова...

Умиленный этими похвалами, Родион Антоныч даже пощупал свою «счастливую» голову, которая до сих пор шла за самую обыкновенную.

— А так как вы питаете такое пристрастие к письменной части, то вам и книги в руки: мужу необходим домашний секретарь — вот вам на первый раз самое подходящее место. А вперед увидим...

Составленный Родионом Антонычем проект уставной грамоты действительно был chef-d'ceuvre'ом[56] в своем роде. Он обеспечил за Кукарскими заводами такие преимущества, которые головой выдавали десятки тысяч заводского населения в руки заводовладельца. Даже сомнительные статьи, которые, кажется, трудно было обойти, были так неясно редактированы и опутаны такими хитросплетенными условиями, что можно было только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. Во-первых, по этой уставной грамоте совсем не было указано сельских работников, которым землевладелец обязан был выделить крестьянский

надел, так что в мастеровые попали все крестьяне тех деревень, какие находились в округе Кукарских заводов. Затем, все мастеровые, по новой грамоте, пользовались выгоном, покосами, росчистями и лесом «на прежних основаниях», пока заводовладелец не изменит их по собственному усмотрению и пока мастеровые работают на его заводах. В виде особенной милости заводовладельца мастеровые получили от него *в дар* свои дома и усадьбы. Оговорено было даже то, что содержание церквей, школ и больниц остается на том же усмотрении заводовладельца, который волен все это в одно прекрасное утро «прекратить», то есть лишить материального обеспечения. Но центр тяжести всей уставной грамоты заключался в том, что уставная грамота касалась только мастеровых и давала нм известные условные гарантии только на том условии, если они будут работать на заводах. Все остальное население, которое не принимало непосредственного участия в заводской работе, совсем не шло в счет. Так что в результате на стороне заводовладельца оставались все выгоды, даже был оговорен оброк

за пользование покосами и выгонами с тех мастеровых, которые почему-либо не находятся на заводской работе. Помещикам, наградившим своих бывших крепостных кошачьими даровыми наделами, во сне никогда не снилось ничего подобного, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что Лаптев был даже не заводовладелец в юридическом смысле, а только «пользовался» своими полумиллионами десятин богатейшей в свете земли на посессионном праве. Благодаря проекту Родиона Антоныча кукарское заводоуправление брало не только со всех посторонних, но даже со своих собственных мастеровых за пользование *казенной* землей в свою выгоду очень почтительный оброк — пятьдесят копеек и дороже за каждую десятину. Спорный юридический вопрос о правах посессионных владельцев *на недра земли,* в случае нахождения в них минеральных сокровищ, тоже был выговорен уставной грамотой в пользу заводовладельца, так что мастеровые не могли быть уверены, что у них не отберут для заводских целей даже те усадебные клочки, которые им принадлежат по за-

кону, но которые, по проекту уставной грамоты Родиона Аптоныча, великодушно были подарены им заводовладельцем. Словом, в юридическом отношении проект Родиона Антопыча составлял выдающееся явление.

Раиса Павловна со своей стороны осыпала всевозможными милостями своего любимца, который сделался ее всегдашним советником и самым верным рабом. Она всегда гордилась им как своим произведением; ее самолюбию льстила мысль, что именно она создала этот самородок и вывела его на свет из тьмы неизвестности. В этом случае Раиса Павловна обольщала себя аналогией с другими великими людьми, прославившимися уменьем угадывать талантливых исполнителей своих планов.

Родион Антоныч, конечно, быстро освоился в своей новой обстановке и быстро забрал в свои руки все кругом. Погром, произведенный 19 февраля, оставил в его душе неизгладимый горький след, который заставлял его постоянно морщиться и стонать. Он так сросся душой и телом с крепостными порядками, что не мог помириться ни с чем новым, даже

ради той сторицы, какую теперь получил. Его постоянно сосал какой-то червь, который не давал покоя. Неисправимый крепостник в душе, Родион Антоныч давил и гнул все новые порядки и всех новых людей, насколько хватало сил. Это был своего рода крепостной фанатизм, и в этом отношении у Родиона Антоныча была родственная черта с замашками великих французских кардиналов, хотя, конечно, это были величины несоизмеримые. Достаточно сказать, что ни одного дела по заводам не миновало рук Родиона Антоныча, и все обращались к нему, как к сказочному волшебнику. Его влияние отражалось на всех сферах заводской жизни и деятельности.

Но интереснее всего было то, как расправлялся Родион Антоныч с теми, кто ему не поддавался. Первым таким делом было то, что несколько обществ, в том числе и Кукарское, не захотели принять составленной им уставной грамоты, несмотря ни на какие увещания, внушения и даже угрозы. Глупые мужики уперлись и стояли на своем. Отыскались неизвестные законники, которые сумели растолковать им, какой паутиной опутывала их

уставная грамота. Мировой посредник, становые, исправник выбивались из сил, стараясь привести стороны к соглашению: мужичье стояло на своем. Тогда взялся за эту распрю Родион Антоныч и покончил ее в несколько дней: подыскал несколько подходящих старичков, усовестил их, наобещал золотые горы, и те подмахнули за все общество. Этого было достаточно на первый раз, а там пусть дело гуляет по судам да палатам. Как упрямые мужики ни артачились, как ни хлопотали, дело оставалось в том положении, в какое его поставил Родион Антоныч, а сельские общества только несли убытки от своих хлопот да терпели всяческое утеснение на заводской работе.

— Еще бабушка-то надвое сказала, — говорил Родион Антоныч жалившимся общественникам. — Вы бы мирком да ладком лучше старались...

В этом случае он хотел показать заводскому населению, обрадовавшемуся «воле», что крепостное право для него еще не миновало. Ему доставляло громадное наслаждение давить этих свободных мастеровых на всех

пунктах, особенно там, где специально заводские интересы соприкасались с интересами населения.

Другим подвигом, прославившим имя Родиона Антоныча, была его упорная борьба с Ельниковским земством, другими словами — с Авдеем Никитичем Тетюевым. Но здесь Родиону Антонычу пришлось некоторым образом идти даже против самого себя, потому что перед самой фамилией Тетюевых, по старой привычке, он чувствовал благоговейный ужас и даже полагал некоторое время, что Авдей Никитич в качестве нового человека непременно займет батюшкино местечко. Но вышло не так, — одолела Раиса Павловна, и ему пришлось идти против заветного имени. Но в этом случае Родион Антоныч утешал себя тем, что начал поход против Тетюева не по собственной инициативе, а только творил волю пославшего. Борьба между земством, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой, велась не на живот, а на смерть. Оно и понятно... Как! когда заводы на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством государства, которое поддержи-

вало их постоянными субсидиями, гарантиями и высокими тарифами; когда заводчикам задаром были отданы миллионы десятин на Урале с лесами, водами и всякими минеральными сокровищами, только насаждай отечественную горную промышленность; когда на Урале во имя тех же интересов горных заводов не могли существовать никакие огнедействующие заведения, и уральское железо должно совершать прогулку во внутреннюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться в краску, отправлялся в Англию, — когда все это творилось, конечно, притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того ни с сего принялось обкладывать заводы налогами, эти притязания просто были смешны. Но Тетюев не дремал, и в первый же год существования земства Кукарские заводы были обложены пятьюдесятью тысячами налога.

— Родион Антопыч, я ничего не пожалею, чтобы сломить Тетюева! — заявила Раиса Павловна. — Это бессовестно: пятьдесят ты-

сяч... Раньше заводы не несли никаких налогов и пользовались даровым трудом крепостных, а теперь и то и другое.

— Можно будет постараться, Раиса Павловна. Только мы будем подводить свою линию под Авдоя Никитича исподволь да потихоньку... Дело-то вернее будет!..

— Как хотите, так и делайте... Если хлопоты будут стоить столько же, сколько теперь приходится налогов, то заводам лучше же платить за хлопоты, чем этому земству! Вы понимаете меня?

Политика Родиона Антоныча приводилась в действие, и результаты не замедлили себя показать: сначала были изъяты из обложения земскими налогами золотые промысла, потом железный рудник, фабрики и т. д. Ходатайства, докладные записки и прошения дождем сыпались в Петербург, где разные нужные человечки умели вовремя их представить куда следует. Каша заварилась вкрутую, и политика Родиона Антоныча много испортила крови Тетюеву. Например, гора Куржак, целиком состоявшая из магнитного железняка и по приблизительным вычислениям за-

ключавшая в себе до тридцати миллиардов богатейшей в свете железной руды, приносила земству всего-навсего два рубля семнадцать копеек дохода, как любая усадьба какого-нибудь мастерового. Тетюев рвал на себе волосы, когда заходила речь о Куржаке, но поделать с последовательной политикой Родиона Антоныча ничего не мог. Когда все законные способы ограничения земской дерзости были исчерпаны, Родион Антоныч вкупе с Раисой Павловной решились нанести этому ненавистному учреждению самый роковой удар его же собственным оружием: неисповедимыми путями в Ельниковское земское собрание большинство гласных были избраны заводские приспешники и клевреты управителя, поверенные, разная мелкая служащая сошка и, наконец, сам Родион Антоныч, который сразу организовал большинство голосов в свою пользу. Сам губернатор был на стороне Родиона Антоныча и назначал председателями земских собраний тех лиц, на которых указывало кукарское заводоуправление. Таким образом, с каждым годом, по мере того как возрастала земская сумма налогов, Кукар-

ские заводы платили меньше и меньше, слагая свою долю на крестьянское население. Тетюев был совсем прижат к стене, и, казалось, ему ничего не оставалось, как только покориться и перейти на сторону заводов, но он воспользовался политикой своих противников и перешел из осадного положения в наступающее. Поездка Лаптева в сопровождении генерала Блинова служила самым блестящим ответом с его стороны Родиону Антонычу и Раисе Павловне за всю их политику против него. Стороны теперь встали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и самый решительный удар.

Усложняющим обстоятельством в этой крупной игре являлись интриги и происки Майзеля с другими управителями, которые, как это свойственно человеческой природе, желали сами занять место повыше. Но Родион Антоныч относился к этим случайным людям с достойным презрением. Что они такое были сами по себе? Мыльные пузыри, не больше. Всплывет, покружится, поиграет и рассыплется радужной пылью... Этим людям везде скатертью дорога; где больше дадут —

там они и покорные слуги. Это уж совсем не то, что Раиса Павловна, Авдей Никитич или сам Родион Антоныч. Для них троих заводы составляли все, они к ним приросли, вне их ничего не желали знать. Тот же Авдей Никитич, легко сказать, тянет второе трехлетие председателем управы и глазом не моргнет. Все крепкий, ухватистый народ, хотя и не без недостатков. Родион Антоныч, например, когда строил свой дом, то прежде чем перейти в него, съездил за триста верст за двумя черными тараканами, без которых, как известно, богатство в доме не будет держаться. Он же лечился хрусталем, когда у него болели глаза. Доктор Кормилицын пришел в ужас, когда узнал рецепт этого хрустального лечения. Именно: Родион Антоныч взял толстый хрустальный стакан, истолок его в порошок и это толченое стекло выпил преблагополучным образом. Раиса Павловна верила в сны и разные другие приметы, а Тетюев занимался спиритизмом.

Глава 8

Мы уже видели, как Родион Антоныч принял известие о приезде Лаптева на заводы. Он был трус по натуре и, как всякий трус, после первого припадка отчаяния деятельно принялся отыскивать путь к спасению. Прежде всего в нем поколебалась вера в Раису Павловну, которая не сегодня-завтра слетит с своей высоты. Раиса Павловна с свойственной ей проницательностью давно изучила заячью душу своего Ришелье и сейчас же угадала истинный ход его мыслей. Это обстоятельство ее не особенно огорчило, потому что она бывала и не в таких переделках и выходила суха из воды. Как все великие психологи-практики, она умела больше всего воспользоваться дурными сторонами и слабостями других людей в свою пользу. Так и теперь она решилась воспользоваться страхом Родиона Антоныча перед Тетюевым.

В господском доме шел ужаснейший переполох по случаю приезда барина, который не бывал на заводах с раннего детства. Для его приема готовили главный корпус господского

дома, где на скорую руку переклеивали обои, обивали мебель, лощили полы, подкрашивали и замазывали каждую щель. Прейн был не особенно прихотливый человек и довольствовался всего двумя комнатами, которые сообщались с половиной Раисы Павловны и с кабинетом самого владельца. Для такого важного гостя, как сам заводовладелец, нужно было устроить княжеский прием. Не хватило тысячи самых необходимых вещей, которых в Кукарском заводе и в уездном городишке Ельникове не достанешь ни за какую цену, а выписывать из столицы было некогда.

— Как же мы будем? — спрашивал Родион Антоныч.

— А Прейн? — отвечала удивленная Раиса Павловна. — Ах, как вы просты, чтобы не сказать больше... Неужели вы думаете, что Прейн привезет Лаптева в пустые комнаты? Будьте уверены, что все предусмотрено и устроено, а нам нужно позаботиться только о том, что будет зависеть от нас. Во-первых, скажите Майзелю относительно охоты... Это главное. Думаете, Лаптев будет заниматься здесь нашими делами? Ха-ха... Да он умрет со

скуки на третьи сутки.

— А Блинов?

— Ну, это еще бабушка надвое сказала: страшен сон, да милостив бог. Тетюев, кажется, слишком много надеется на этого генерала Блинова, а вот посмотрите... Ну, да сами увидите, что будет.

— Увидим, все увидим, — уныло соглашался Родион Антоныч, терявший последние признаки своей бодрости при одном имени барина.

— Да вы не трусьте; посмотрите на меня, ведь я же не трушу, хотя могла бы трусить больше вашего, потому что, во-первых, главным образом все направлено против меня, а во-вторых, в худом случае я потеряю больше вашего.

Родион Аитоныч щупал свою голову, вздыхал и даже тряс ушами, как понюхавшая дыму собака.

— Я давно хочу вам сказать, Раиса Павловна, одну вещь... — нерешительно заговорил Сахаров. — Нельзя ли будет войти в какое-нибудь соглашение-с...

— С Тетюевым? Никогда!.. Слышите, нико-

гда!.. Да и поздно немного... Мы ему слишком много насолили, чтобы теперь входить в соглашения. Да и я не желаю ничего подобного: пусть будет что будет.

Стороны взаимно наблюдали друг друга, и Родиона Аптоныча повергло в немалое смущение то обстоятельство, что Раиса Павловна, даже ввиду таких критических обстоятельств, решительно ничего не делает, а проводит все время с Лушей, которую баловала и за которой ухаживала с необыкновенным приливом нежности. К довершению всех бед черные тараканы поползли из дома Родиона Антоныча, точно эта тварь предчувствовала надвигавшуюся грозу.

Действительно, Раиса Павловна, кажется, совсем не желала видеть, что делается кругом, как торопливо белили заводские здания, поправляли заборы, исправляли улицы, отовсюду убирали щепы и мусор. Особенное внимание было обращено на фабрики, где внутренний двор теперь был усыпан песком и каждая машина, при помощи песку и разных порошков, чистилась и охорашивалась, точно невеста под венец. Облупившаяся штукатур-

ка, отставшие доски, проржавевшее железо — все одинаково подвергалось поправкам. Заводский надзиратель, плотинный, уставщики — все лезли из кожи, чтобы привести фабрику в настоящий форменный вид. Доменные печи были выкрашены заново розовой краской, механический корпус — бледно-сиреневой, катальная фабрика — желтой и т. д. Пробоины в крышах и стенах заделывались, выбитые стекла вставлялись, покосившиеся двери навешивались прямо, даже пудлинговые, отражательные, сварочные и многие иные печи не избегали общей участи и были густо намазаны каким-то черным блестящим составом.

Платон Васильевич почти не выходил из фабрики, ставилось громадное маховое колесо для сортовой катальни. Раньше в Кукарском заводе приготовляли только болванку, которая переделывалась в мелкое сортовое железо уже на других заводах. Мельковский славился своим листокатальным производством, Заозерный — полосовым и проволокой, Баламутский — рельсами и т. д. Горемыкин задался целью расширить производи-

тельность заводов в качественном отношении, чтобы не тратить напрасно денег на перевозку металлов с завода на завод. Другая стальная болванка, из каких делаются рельсы, прогуливалась из Кукарского завода в Баламутский и обратно раз до шести, что напрасно только увеличивало стоимость готовых рельсов и набивало карманы разных подрядчиков, уделявших, конечно, малую толику кое-кому из влиятельных служащих. Разные безгрешные доходы процветали в полной силе, и к ним все так привыкли, что общим правилом было то, чтобы всяк сверчок знал свой шесток и чтобы сору из избы не выносил. Горемыкин, несмотря на свои физические немощи и плохое зрение, всегда сам наблюдал за производившимися работами, а теперь в особенности, потому что дело было спешное. Он ходил домой только есть, а все остальное время проводил на фабрике. В этом царстве огня и железа Горемыкин чувствовал себя больше дома, чем в своей квартире в господском доме. Для него было наслаждением по целым часам наблюдать торопливую фабричную работу, которая кипела кругом. Это была настоя-

щая работа гномов, где покрытые сажей человеческие фигуры вырывались из темноты при неровно вспыхивавшем пламени в горнах печей, как привидения, и сейчас же исчезали в темноте, которая после каждой волны света казалась чернее предыдущей, пока глаз не осваивался с нею. Старик на время забывал о своих недостатках: при ослепительном блеске добела раскаленного железа он отчетливо различал подробности совершавшейся работы и лица всех рабочих; при грохоте вертевшихся колес и стучавших чугунных валов говорить можно было, только напрягая все свои голосовые средства, и Горемыкин слышал каждое слово. Когда он выходил из фабрики на свежий воздух, предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные, расплывавшиеся очертания — обыкновенный дневной свет был слаб для его глаз. Точно так же и ухо не могло уловить обыкновенного разговора, и он делал какое-то сосредоточенно-глупое лицо, стараясь не выдавать своей глухоты. Вообще Горемыкин жил полной, осмысленной жизнью только на фабрике, где чувствовал себя, как и все другие люди, но за

стенами этой фабрики он сейчас же превращался в слепого и глухого старика, который сам тяготился своим существованием. За минуту одушевленное лицо, точно омытое волной свежих впечатлений, быстро теряло свой жизненный колорит и получало вопросительно-недоумевающее выражение.

Кроме своего заводского дела, во всех других отношениях Горемыкин был чистейшим ребенком. Его душа слишком крепко срослась с этими колесами, валами, эксцентриками и шестернями, которые совершали работу нашего железного века; из-за них он не замечал живых людей, вернее, эти живые люди являлись в его глазах только печальной необходимостью, без которой, к сожалению, самые лучшие машины не могут обойтись. Старик мечтал о том, как шаг за шагом, вместе с расширением производства, живая человеческая сила мало-помалу заменяется мертвой машинной работой и тем самым устраняются тысячи тех жгучих вопросов, какие создаются развивающейся крупной промышленностью. С этой именно точки зрения он и смотрел на все те общественные и экономические вопро-

сы, которые создавались жизнью специально заводского населения. В них он видел только механическое препятствие, вроде того, какое происходит от трения колеса о собственную ось. В будущем, вместе с развитием промышленности и усовершенствованием техники, они падут до своего естественного минимума. Это была слишком своеобразная логика, но Горемыкин вполне довольствовался ею и смотрел на работу Родиона Антоныча глазами постороннего человека: его дело — на фабрике; больше этого он ничего не хотел знать. Машины, машины и машины, — чем больше машин, тем меньше живых рабочих, которые только тормозят величественное движение промышленности. Горемыкин проводил у семейного очаги очень немного времени, но и оно не было свободно от заводских забот; он точно уносил в своей голове частицу этого двигавшегося, вертевшегося, пилившего и визжавшего железа, которое разрасталось в громадное грохотавшее чудовище нового времени. Перед этим чудовищем все отступало на задний план, действительность представлялась в самом миниатюрном масштабе, а

действующие лица походили на пигмеев. Железный братец Антей каждым своим движением давил кого-нибудь из пигмеев и даже не был виноват, потому что пигмеи сами лезли ему под ноги на каждом шагу.

— Я уверен, — говорил Горемыкин жене, — что Евгению Константинычу стоит только взглянуть на наши заводы, и все Тетюевы будут бессильны.

— Ты думаешь? Ха-ха... Да Евгений Константиныч и не заглянет к вам на фабрики. Очень ему нужно глотать заводскую пыль...

— А вот увидишь.

Раисе Павловне ничего не оставалось, как только презрительно пожать своими полными плечами и еще раз пожалеть о том обстоятельстве, что роковая судьба связала ее жизнь с жизнью этого идиота. Что такое этот Платон Васильич, если его разобрать? Сумасброд, ничтожность. Своим настоящим выдающимся положением он обязан ей — и только ей одной. Она создала его точно так же, как создала Родиона Антоныча и как теперь создавала Лушу. И ей же приходится испить всю чашу предстоящих испытаний исключи-

тельно из-за мужа... Ну как она покажет его Евгению Константинычу, с его глухотой и слепыми глазами? Предстоявший позор вперед заливал краской ее обрюзгшие, полные щеки. Мерзавец Тетюев хорошо рассчитал удар: если он ничего и не выиграет, то чего будет стоить Раисе Павловне эта новая победа над Тетюевым. У ней просто начинала кружиться голова от одолевавших ее планов, и она невольно припоминала ту лису, которая с своей тысячью думушек попала к старухе на воротник.

Первые неприятности уже дали себя почувствовать Раисе Павловне.

В господском доме были заведены Раисой Павловной официальные завтраки по воскресеньям. На этих завтраках фигурировал прежде всего заводской beau monde[57], который Раиса Павловна держала в ежовых рукавицах, а затем разный заезжий праздношатающийся люд — горные инженеры, техники, приезжавшие на сессию члены судебного ведомства, светила юридического мира, занесенные неблагоприятной фортуной артисты, случайные корреспонденты и т. д. Здесь Раи-

са Павловна являлась настоящей царицей: недаром Тетюев называл господский дом «малым двором», в отличие от «большого двора», группировавшегося около самого Лаптева. Люди солидные расточали любезности ее увядшим прелестям, люди средних лет удивлялись уму и великосветским непринужденным манерам, молодежь — ее ласковому приему, отдававшему веселой пикантной ноткой. Вообще все приезжие оставались необыкновенно довольны этими завтраками и следовавшими за ними обедами, слава о которых попадала даже в столичную прессу, благодаря услужливости разных литературных прощелыг. Раиса Павловна умела принять и важное сановное лицо, проезжавшее куда-нибудь в Сибирь, и какого-нибудь члена археологического общества, отыскивавшего по Уралу следы пещерного человека, и всплывшего на поверхность миллионера, обнюхивавшего подходящее местечко на Урале, и какое-нибудь сильное чиновное лицо, выкинутое на поверхность безличного чиновного моря одной из тех таинственных пертурбаций, какие время от времени потрясают мирный сон разных

казенных сфер, — никто, одним словом, не миновал ловких рук Раисы Павловны, и всякий уезжал из господского дома с неизменной мыслью в голове, что эта Раиса Павловна удивительно умная женщина. Старичок сановник, сладко закрывая глаза, несколько раз рассказывал себе пикантный анекдот, которым его угостила Раиса Павловна; археолог бережно завертывал в бумагу каменный топор, который Раиса Павловна пожертвовала ему из своей коллекции; миллионер испытывал зуд во всем теле от комплиментов Раисы Павловны; сильное чиновное лицо долго нюхало воздух, насквозь прокуренный Раисой Павловной самым великосветским фимиамом. Когда никого не было из чужих, воскресные завтраки принимали более интимный характер, и Раиса Павловна держала себя, как мать большой семьи. Весь зависевший от главного управляющего люд съезжался на эти завтраки с благоговейным трепетом: здесь постоянно разыгрывались те бескровные драмы, какими полна жизнь, и кипели вечные интриги. Раиса Павловна любила развлекаться этой бурей в стакане воды, где все

подкапывались друг под друга, злословили и даже нередко доходили в азарте до рукопашной.

Чтобы дополнить картину этих семейных завтраков, нам остается сказать два слова о demoiselles de compagnie[58], которые вечно ютились под гостеприимной кровлей кукарского господского дома. Раиса Павловна, как многие другие женщины, совсем не создана была для семейной жизни, но она все-таки была женщина и в качестве таковой питала непреодолимую слабость окружать себя какими-нибудь компаньонками, недостатка в которых никогда не было. Эти компаньонки, набранные со всех четырех сторон, в глухие сезоны развлекали свою патронессу взаимными ссорами, сплетнями и болтовней, во время приездов служили танцевальным материалом и составляли partie de plaisir[59] для молодых людей и молодившихся старичков; но главная их служба заключалась в том, чтобы своим присутствием оживлять воскресные завтраки, занимать гостей. В настоящее время штат этих приживалок состоял всего из трех экземпляров: институтка Эмма, лимфа-

тическая полная особа немецкого происхождения, какая-то безымянная дворяночка Аннинька, веселое и беспечное создание, и истерическая, некрасивая девица Прасковья Семеновна. Штат этих приживалок очень часто обновлялся. Раньше жила француженка m-lle Louise[60], до нее — красавица Лукина. Судьба этих приживалок была самая странная: они исчезали неизвестно куда, как и появлялись. Никто не замечал таких исчезновений, а сама Раиса Павловна не любила об этом рассказывать. Злые языки говорили, что такие обновления состава приживалок совпадали с приездами Прейна, который, как все старые холостяки, очень любил женское общество.

Из настоящего состава приживалок всего интереснее была судьба Прасковьи Семеновны. Она принадлежала к числу «заграничных», какие еще встречаются кое-где на заводах. Происхождение этого названия относится к первой четверти настоящего столетия, когда уральскими заводчиками овладела мания посылать молодых людей из своих крепостных за границу для получения специального образования по горной части. Из Кукар-

ских заводов было послано двенадцать человек, выбранных из самых способных школьников при заводских училищах. Эти школьники прожили за границей лет десять, получая большое содержание. Они совсем освоились на новой почве и почти все переженились на иностранках. Вдруг их всех требуют в Россию, на заводы. Молодые парочки едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные Лаптева, следовательно, попали в крепостные и их жены, все эти немки и француженки, а затем они из-под европейских порядков перешли прямо в железные лапы Никиты Тетюева, который возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. Положение «заграничных» в Кукарских заводах было самое трагическое, тем более что переход от европейских свободных порядков к родному крепостному режиму ничем не был сглажен. Тетюев с своей стороны особенно налег на молодых людей, чтобы сразу выбить из них всю европейскую и ученую дурь. Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по са-

мым ничтожным должностям, на копеечное жалованье, без всякого выхода впереди. Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники — машинистов, минералоги — в лесном отделении, металлурги — при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д. Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал крутой старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажен, должны были копать медную руду. Эту каторжную работу не могли выносить самые привычные и сильные рабочие, а заграничные в своих европейских обносках были просто жалки, и их спускали в гору на верную смерть. Но Тетюев был неумолим. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в

три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до последней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспитывать голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия. Но и в самые черные дни своего существования они не могли расстаться с своим европейским костюмом, с теми модами, какие существовали в дни их юности... Трагедия переходила в комедию. Эта страшная кара перешла и на детей заграничных, которые явились на свет с тяжелыми хроническими болезнями и медленно вымирали от разных нервных страданий, запоя и чахотки. Прасковья Семеновна, дочь кассельской немки, с

раннего детства осталась круглой сиротой и была счастлива, по крайней мере тем, что не видала позора матери. Она с пяти лет страдала истерическими припадками и в качестве блаженненькой проживала по богатым купеческим домам. В разгар своей борьбы с Тетюевым Раиса Павловна обратила на нее свое внимание, взяла ее к себе в дом и принялась воспитывать. Это доброе дело нехорошо было только тем, что оно делалось с специальной целью насолить Тетюеву: пусть он, проповедник гуманных начал и земского обновления, полюбуется, в лице Прасковьи Семеновны, тятенькиными поступками... Прасковья Семеновна с годами приобретала разные смешные странности, которые вели ее к тихому помешательству; в господском доме она служила общим посмешищем и проводила все свое время в том, что по целым дням смотрела в окно, точно поджидая возвращения дорогих, давно погибших людей.

Итак, в господском доме совершался семейный завтрак. Посторонних никого не случилось, а сидел все свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, жена Майзеля, разбитная

немка aus Riga[61], Амалия Карловна, управитель Баламутского завода Демид Львович Вершинин, Мельковского — отставной артиллерийский офицер Сарматов, Куржака — чахоточный хохол Буйко, Заозерного — вечно общипывавшийся и охорашивавшийся полячок Дымцевич. В общей трапезе принимали участие старичок механик Шубин и молодой человек, служивший по лесной части, Иван Иваныч Половинкин или просто m-r Половинкин. Эта компания в своем составе представляла очень пеструю картину. Сарматов славился как отчаянный враль и самый бессовестный интриган; Буйко — своей бесцветностью; Дымцевич — глупостью. Самым видным лицом являлся Вершинин, всегда спокойный и неизменно остроумный, незаменимый собеседник за столом и величайший в свете артист устраивать официальные и полуофициальные обеды. На этом последнем поприще Вершинин был в своем роде единственный человек: никто лучше его не мог поддержать беглого, остроумного разговора в самом смешанном обществе; у него всегда наготове имелся свеженький анекдот, ядовитая

шуточка, остроумный каламбур. Сказать спич, отделать тут же за столом своего ближнего на все корки, посмеяться между строк над кем-нибудь — на все это Вершинин был великий мастер, так что сама Раиса Павловна считала его очень умным человеком и сильно побаивалась его острого языка. В трудных случаях, когда нужно было принять какую-нибудь важную особу, вроде губернатора или даже министра, Вершинин являлся для Раисы Павловны кладом, хотя она не верила ему ни в одном слове. Среди этой заводской аристократии и козырных тузов m-r Половинкин являлся в роли parvenu[62], которому Раиса Павловна очень покровительствовала, задавшись целью женить его на Анниньке. Такие двусмысленные личности встречаются в каждом обществе, и им достается самая жалкая роль. Злые языки в m-r Половинкине видели просто фаворита Раисы Павловны, которой нравилось его румяное лицо с глупыми черными глазами, но мы такую догадку оставим на их совести, потому что на завтраках в господском доме всегда фигурировал какой-нибудь молодой человек в роли parvenu.

Покровительствовать молодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы Павловны, которая вообще любила устраивать чужое счастье. Механик Шубин замечателен был тем, что про него решительно ничего нельзя было сказать — ни худого, ни доброго, а так, черт его разберет, что за человек. Такие люди иногда встречаются: живут, служат, работают, женятся, умирают, от их присутствия остается такое же смутное впечатление, как от пробежавшей мимо собаки.

Приживалки, конечно, были все налицо. Прасковья Семеновпа смотрела в окно, Анниника шепталась и хихикала с m-r Половинкиным, который глупо и самодовольно улыбался, покручивая выхоленные усики. M-lle Эмма стоически выдерживала атаку с двух сторон: слева сидел около нее слегка подвыпивший Прозоров, который под столом напрасно старался прижать своей тощей ногой жирное колено m-lle Эммы, справа — Сарматов, который сегодня врал с особенным усердием. В течение десяти минут он успел рассказать, прищуривая один косой глаз, что на последней охоте одним выстрелом положил

на месте щуку, зайца и утку, потом, что когда был в Петербурге, то открыл совершенно случайно еще не известную астрономам планету, но не мог воспользоваться своим открытием, которое у него украл и опубликовал какой-то пройдоха, американский ученый, и, наконец, что когда он служил в артиллерии, то на одном смотру, на Марсовом поле, через него переехало восьмифунтовое орудие, и он остался цел и невредим.

— Ах, виноват, — поправился Сарматов, придавая своей щетинистой, изборожденной морщинами роже серьезное выражение, — у меня тогда оторвало пуговицу у мундира, и я чуть не попал за это на гауптвахту. Уверяю вас... Такой странный случай: так прямо через меня и переехали. Представьте себе, четверка лошадей, двенадцать человек прислуги, наконец орудие с лафетом.

— Я слышал, что одним колесом вам придавило голову? — спокойно заметил Вершинин, улыбаясь в свою подстриженную густую бороду. — А планету вы уже открыли после этого случая... Я даже уверен, что между этим случаем и открытой вами планетой суще-

ствовала органическая связь.

— Отстаньте, пожалуйста, Демид Львович! Вы все шутите... А я вам расскажу другой случай: у меня была невеста — необыкновенное создание! Представьте себе, совершенно прозрачная женщина... И как случайно я узнал об этом! Нужно сказать, что я с детства страдал лунатизмом и мог видеть с закрытыми глазами. Однажды...

Такие разговоры повторялись слишком часто, чтобы обращать на них внимание. M-lle Эмма слушала весь этот вздор с своей обычной апатией, не обращая внимания на Прозорова, который после неудачной атаки под столом принялся ей отчитывать самые страстные строфы из Гейне и даже Саади. Раиса Павловна, конечно, все это видела, но не придавала таким глупостям никакого значения, потому что сама в веселую минуту иногда давала подколенника какому-нибудь кавалеру-новичку, в виде особенной ласки называла дам свиньями и употребляла по-французски и даже по-русски такие словечки, от которых краснела даже m-lle Эмма. Но теперь ей было не до того: ее беспокоило поведение

Вершинина и m-me Майзель, которые несколько раз обменялись многозначительными взглядами, когда разговор зашел на тему об ожидаемом приезде Лаптева на заводы. Очевидно, это был открытый заговор против нее, и где же? — в ее собственном доме... Это было уже слишком! Сарматов и Дымцевич тоже как будто переглядываются между собой... О! без сомнения, все они переметнулись на сторону Тетюева, и каждый дурак ждет, что именно его сделают главным управляющим. В Раисе Павловне забунтовала каждая жилка от непреодолимого желания отделать на все корки это собрание Иуд, а всех прежде — Амалию Карловну.

— M-r Половинкин, — обратилась m-me Майзель к parvenu, — будьте настолько добры, сходите за моей рабочей корзинкой. Я ее оставила дома...

M-r Половинкин съежился, не зная, как выпутаться из своего неловкого положения; от господского дома до квартиры Майзеля было битых полторы версты. Если не пойти — старик Майзель, под начальством которого он служил, сживет со свету, если идти — Раи-

са Павловна рассердится. Последнее он хорошо заметил по лицу своей патронши.

— Ваша лошадь, кажется, у подъезда, Амалия Карловна... — пробормотал наконец m-r Половинкин. — Я с удовольствием, если позволите... оно скорее...

— Ах, нет... — с кислой улыбкой протестовала Амалия Карловна. — Лошадь устала, а вам пройтись немного, право, очень полезно... Уверяю вас!.. Ведь это всего в двух шагах — рукой подать.

— Я полагаю, Амалия Карловна, — отчетливо и тихо заговорила Раиса Павловна, переставляя чашку с недопитым кофе, — полагаю, что monsieur Половинкину лучше знать, что ему полезно и что нет. А затем, вместе с своей рабочей корзинкой, вы, кажется, забыли, что у monsieur Половинкина, как у всех присутствующих здесь, есть имя и отчество...

— Виновата, — жеманно ответила m-me Майзель, прищуривая свои ястребиные глаза, — если не ошибаюсь — Семен Семеныч...

— Нет, Иван Иваныч...

— Еще раз виновата, Иван Иваныч... — с расстановкой заговорила взбешенная Амалия

Карловна, раскланиваясь с m-r Половинкиным. — Я уж лучше попрошу mademoiselle Эмму сходить за моей корзинкой. Ведь это недалеко: всего в двух шагах.

— Вам, Амалия Карловна, лучше всего обратиться к кому-нибудь из прислуги с вашей просьбой или к Демиду Львовичу... — отрезала m-lle Эмма, обладавшая большой находчивостью.

Эта глупая сцена сама по себе, конечно, не имела никакого значения, но в данном случае она служила вызовом, который Амалия Карловна бросила прямо в лицо Раисе Павловне. Приживалки притихли, ожидая бури; Вершинин с улыбкой гладил жирного мопса Нерона, который слезившимися, вылупленными глазами глупо смотрел ему в рот. Прозоров улыбался растерянной, пьяной улыбкой. Кормилицын препарировал ножку цыпленка, остальные напрасно старались изобразить из себя слушающую публику, которая была занята рассказом Сарматова, как он, однажды в Бессарабии давал настоящий концерт на фарфоровой гитаре. Буря пронеслась, и все понемногу успокоились, даже m-r Поло-

винкин, который теперь с самым развязным видом старался рассмешить Анниньку. Сама Амалия Карловна как ни в чем не бывало продолжала доедать порцию холодного рябчика и аппетитно вытирала толстые губы салфеткой. С острым носом, с узкими черными глазками и с резкими, точно что-то хватавшими движениями, она всегда походила на птицу; это сходство увеличивалось еще пестрым барежевым платьем и кружевной наколкой на голове. Теперь Амалия Карловна, набивая рот рябчиком, рассказывала о необыкновенно красивой шляпке, которую m-me Тетюева на днях получила из Петербурга. Упоминать фамилию Тетюевых в присутствии Раисы Павловны было вообще дерзостью, но Амалия Карловна с самой ехидной искренностью, на какую только способны великосветские дамы, еще прибавила, обращаясь к Раисе Павловне:

— А вы ничего не ждете себе из Петербурга? Я хочу сказать, не выписали ли вы себе какую-нибудь новинку... на голову?

— Амалия Карловна, вы слишком много себе позволяете!.. — вскипела наконец Раиса

Павловна, бросая на тарелку вилку.

— Я?.. Я, кажется, ничего не сказала такого... — чистосердечно удивилась Амалия Карловна, обводя присутствующих удивленным взором.

— Нет, вы отлично понимаете, что хотели сказать. Я только могу удивляться вашей дерзости: явиться в мой дом... и...

— После этого моя нога никогда не будет в вашем доме!.. — величественно произнесла Амалия Карловна, торопливо проглатывая последний кусок рябчика.

— Мы не много от этого потеряем...

— Вы меня оскорбляете, Раиса Павловна!.. Николай Карлыч вызовет Платона Васильича на дуэль, если вы не извинитесь сейчас же...

— Дуэль? Ха-ха... Зачем дуэль, идите лучше и поцелуйтесь с вашим Тетюевым!..

Амалия Карловна ждала поддержки со стороны присутствовавших единомышленников, но те предпочитали соблюдать полнейший нейтралитет, как это и приличествует посторонним людям. Этого было достаточно, чтобы Амалия Карловна с быстротой пушечного ядра вылетела в переднюю, откуда доно-

сились только ее отчаянные вопли: «Я знаю все... все!.. Вас всех отсюда метлой выгонят... всех!..»

— Нерон, кусь!.. — уськнула вдогонку m-lle Эмма, и собака с громким лаем понеслась в переднюю.

Лицо Раисы Павловны горело огнем, глаза метали молнии, и в уютной столовой с дубовой мебелью и суровыми драпировками долго царило самое принужденное молчание. Доктор ковырял какую-то копченую рыбешку, Вершинин с расстановкой смаковал чайный ликер из крошечной рюмочки на тонкой высокой ножке, Дымцевич покручивал усики, толкая локтем Буйко. Прозоров и Сарматов разговаривали вполголоса, Анниника кормила хлебными шариками вернувшегося из погони Нерона. После приживалок Нерон пользовался у Раисы Павловны особенными привилегиями. Он мог делать решительно все, что ему вздумается, и Раиса Павловна от души хохотала над его остроумными собачьими проказами, когда он, например, с ловкостью записного эквилибриста бросался к лакею, разносившему кушанье, и выхватывал с

блюда лучший кусок или во время завтрака взбирался на обеденный стол и начинал обнюхивать тарелки и чашки завтракавших. Собачья фантазия была неистощима, и Нерон по какому-то инстинкту особенно надоедал тем, кого Раиса Павловна почему-либо недолюбливала. Все, кто хотел угодить Раисе Павловне, прежде всего был должен заслужить расположение Нерона. В этих видах Родион Антоныч, m-r Половинкин и другие приспешники всегда носили в кармане что-нибудь съестное, и даже сам Вершинин гладил и ласкал злую и ожиревшую собачонку.

— А я на вашем месте просто дала бы ей в шею... — лениво заметила m-lle Эмма, нарушая общее молчание.

Все засмеялись. Раиса Павловна тоже улыбнулась. Эта m-lle Эмма молчит-молчит, а потом и скажет всегда что-нибудь такое смешное. Высказав свое мнение, девушка с забавной серьезностью вытянула губы и посмотрела вызывающе на Вершинина. Положительно, эта немочка была интересна, если бы окончательно не «потеряла фигуру» благодаря своей увеличивавшейся полноте. Раиса

Павловна с ужасом смотрела на ее расплывавшийся бюст, точно под корсетом у m-lle Эммы была налита вода. Да и одеться к лицу она никогда не умела: немка — так немка и есть, все на ней кошелем. То ли дело Аннинька — и лицом хуже m-lle Эммы, а фигурка у нее точно на заказ выточена, стройная да гибкая.

— Нет, в самом деле, Раиса Павловна, я на вашем месте лихо смазала бы эту Амальку, — повторила m-lle Эмма, поощренная общим смехом.

— Ах, душечка, меня, вероятно, самое скоро в шею смажут в собственном доме, — ответила Раиса Павловна. — Если бы Амалька вцепилась мне в физиономию, я уверена, что ни один из присутствующих здесь не вступился бы за меня... Взять хоть Демида Львовича для примера.

— Я сначала подождал бы, Раиса Павловна, на чьей стороне останется победа, — грудным тенором ответил Вершинин, прищуривая глаза. — А потом уж пристал бы, конечно, не к побежденной стороне...

Глава 9

От Загнеткина было получено уже несколько писем. Он подробно описывал все, что успевал разузнать о предстоящей поездке Лаптева на заводы. Каждое письмо Раиса Павловна подвергала самому тщательному анализу и все-таки оставалась в конце концов неудовлетворенной: в затеянной Тетюевым игре ей оставалось много неясного. Что такое этот генерал Блинов — прежде всего? Получалось самое смутное, расплывавшееся в подробностях представление: если он «ученый профессор» по преимуществу, то каким образом примазался к нему Тетюев с своими интригами? Если, затем, генералом так вертит эта таинственная особа, то что же смотрит Прейн? Если наконец генерал задался непременной целью произвести на заводах необходимые финансовые реформы, то отчего до сих пор ни в заводоуправлении, ни Платону Васильевичу не было решительно ничего известно? Получалась кружившая голову путаница, в которой невозможно было разобраться. Ясно было только то, что сама Раиса Павловна

самым глупым образом попала между двумя сходившимися стенами: с одной стороны был Тетюев, завербовавший себе сильную партию Майзеля, Вершинина и др., с другой — генерал Блинов. Стоило только им сойтись вместе, и Раиса Павловна неизбежно будет похоронена под развалинами недавнего своего величия. Главное, теперь решительно ничего нельзя было предпринять для рассеяния сгущавшейся мглы, а нужно было ждать, ждать и ждать... Из тумана выступали пока совсем неопределенные фигуры генерала Блинова с его особой и какой-то балерины Братковской, из-за которой Лаптев откладывает свою поездку на Урал день за днем. Сам хитроумный и на все оборотистый Родион Антоныч решительно ничем не мог помочь Раисе Павловне и только нагонял на нее тоску своими бесконечными охами и вздохами.

— Уж вы лучше бы мне на глаза не показывались! — откровенно высказывалась ему Раиса Павловна.

Приживалки, которых Прозоров называл «галками», бесцельно слонялись по всему дому, как осенние мухи по стеклу, или меланхо-

лически гуляли по саду. Делать им было решительно нечего, и единственным развлечением являлся только m-r Половинкин, который держал себя с «галками» настоящим денди.

— Душечка, ты постарайся меньше кушать, — уговаривала Раиса Павловна m-lle Эмму, — а то ведь ты начинаешь совсем походить на индюшку... У тебя даже из-под пазух жир так и лезет складками!

Мадмуазель делала сердитое лицо и ничего не отвечала.

— Необходимо принять меры, голубчик, — продолжала Раиса Павловна. — Наконец посоветуйся с доктором: есть такие средства, от которых такие толстушки делаются интересными девицами. Что же делать, если природа иногда несправедлива к нам...

Когда не было Раисы Павловны, девушки осторожно шушукались между собой, критикуя каждый шаг своей патронши.

— Я решительно не понимаю, — говорила m-lle Эмма, — чего *она* находит интересного в этой вертушке Лукерье? Прейн и не взглянет на нее. Очень ему нужно смотреть на всякую

дрянь!

— У Луши носик хорошенький, с горбиком.

— Только и есть, что один носик, Аннинька. Ну, да Прейну сойдет... для счета.

— Ты уж не ревнуешь ли ее к нему?

— Я?.. Очень мне нужно. Этот Прейн такой отвратительный, если бы ты знала. Он так умеет надоесть...

— Однако когда-то ты им была, кажется, очень заинтересована.

— Не больше, чем ты своим Иван Иванычем... Вот погоди, и ты не уйдешь от Прейна, Аннинька. Ему была бы только юбка... Я была тогда глупа, когда он ухаживал за мной, и не умела забрать его в руки. Если он начнет проделывать с тобой такую же историю, я тебя научу, что нужно делать. Следовало бы его проучить... А все это наша Раиса Павловна! Я была еще совсем девчонкой, когда Прейн приехал сюда в первый раз. Ну, конечно, принялся ходить за мной, а Раиса Павловна сейчас с своими шуточками да анекдотами — проходу не дает. А потом... Помнишь из «Belle Hélène»[63]:

...но ведь бывают столкновенья,

когда мы нехотя грешим!..

— Что же, он скоро тебя бросил? — допытывалась Анниника.

— Да, у него все это скоро делается: через неделю, кажется... Мерзавец вообще, каких мало. А теперь Раиса Павловна будет ловить Прейна на Лукерью, только она не продаст ее дешево. Будь уверена. Недаром она так ухаживает за этой девчонкой...

— А знаешь, что я думаю, — говорила Анниника. — Не думает ли Раиса Павловна прельстить Лушей самого Лаптева.

— Ну, уж ты очень далеко хватила: Лаптева!.. Дай бог Прейна облюбовать с грехом пополам, а Лаптев уже занят, и, кажется, занят серьезно. Слыхали про Братковскую? Говорят, красавица: высокого роста, с большими голубыми глазами, с золотистыми волосами... А сложена как богиня. Первая красавица в Петербурге. А тут какая-нибудь чумичка — Луша... фи!..

— Я не понимаю только одного, ведь Луша выходит за Яшу Кормилицына, давно всем известно, и сама же Раиса Павловна об этом так хлопотала.

— Тогда хлопотала, а теперь оставит Яшеньку с носом и только, — засмеялась m-lle Эмма. — Не дорого дано... Да я на месте Луши ни за что не пошла бы за эту деревянную лестницу... Очень приятно!.. А ты слышала, какой подарок сделал доктор Луше, когда она изъявила желание выйти за него замуж?

— Нет.

— Это потеха: какую-то глисту в спирте... Честное слово! Мне Вершинин под секретом рассказывал, и она его с этой глистой в три шеи.

— Значит, у них все дело рассохлось?

— А черт их разберет... Разве нашу Раису Павловну узнаешь, что она думает. Комар носу не подточит.

— Однако она сильно изменилась в последнее время, — задумчиво говорила Аннинька, — лицо осунулось, под глазами синие круги... Я вчера прихожу и рассказываю ей, что мы с тобой видели Амальку, как она ехала по улице в коляске вместе с Тетюевой, так Раиса Павловна даже побелела вся. А ведь скверная штука выйдет, если Тетюев действительно смажет нашу Раису Павловну. Куда

мы тогда с тобой денемся, Эмма?

— Вздор!.. Наша Раиса всех в один узел завяжет — вот увидите, — уверенно отвечала m-lle Эмма, делая энергичный жест рукой. — Да если бы и смазали ее, невелика беда: не пропадем. Махнем в столицу, и прямо объявление в газетах: «Молодая особа и т. д.» Вот и вся недолга. По крайней мере, можно пожить в свое удовольствие.

Эти рассудительные барышни очень обстоятельно обсудили все, что должно произойти по случаю приезда Лаптева. Конечно, будет несколько балов, потом равные поездки в горы, пикники и просто parties de plaisir[64].

Майзель будет устраивать охоты с интересными превращениями, Вершинин — обеды, Сарматов — спектакли, и т. д. Интересно будет посмотреть, как Раиса Павловна будет мириться с Амалькой. Впрочем, это не первый случай между ними. Гораздо серьезнее будет встреча Раисы Павловны с той особой, которая едет с генералом Блиновым. Вот будет потеха, когда эти старые бабы встретятся и зафукают, как старые кошки!

Прасковья Семеновна в этих разговорах

почти не принимала никакого участия, хотя в последнее время она чувствовала себя особенно хорошо: всеобщая суматоха и перестройка совпадали с ее душевным настроением, и она ходила из комнаты в комнату с самым довольным лицом. Девушка совершенно разумно рассуждала с рабочими, которые не выходили из господского дома. Она внимательно следила за каждым шагом вперед: где выкрасили, где переклеили новые обои, где покрыли лаком — все это, вместо взятое, служило самым верным доказательством приближающихся событий. Когда работы были кончены, Прасковья Семеновна заняла наблюдательную позицию в том окне, из которого виднелась трактовая дорога. Именно по этой дороге Лаптев и должен был приехать, и Прасковья Семеновна терпеливо ждала его по целым дням. Однажды она вбежала в комнату Анниньки и проговорила задыхающимся голосом:

— Едут!..

— Кто?

— Все едут.

Анниника и m-lle Эмма бросились к окнам

и должны были убедиться в справедливости этого известия.

Действительно, через площадь, мимо здания заводоуправления, быстро катился громадный дорожный дормез, запряженный четверней. За ним, заливаясь почтовыми колокольчиками, летели пять троек, поднимая за собой тучу пыли. Миновав заводоуправление, экипажи с грохотом въехали на мощеный двор господского дома.

— Это Евгений Константиныч! — вскрикнула Анниника, бросаясь предупредить Раису Павловну.

— Вздор, Анниника! — решила рассудительная немка. — Лаптев так никогда не поедет. Это, вероятно, прислуга.

Любопытные барышни прильнули к окну и имели удовольствие наблюдать, как из дормеза, у которого фордэк был поднят и закрыт наглухо, показался высокий молодой человек в ботфортах и в соломенной шляпе. Он осторожно запер за собой дверь экипажа и остановился у подъезда, поджидая, пока из других экипажей выскакивали какие-то странные субъекты в охотничьих и шведских куртках,

в макинтошах и просто в блузах.

— Музыканты... — шептала Анниника, прижимаясь плечом к своей флегматической подруге, которая все время не сводила глаз с запертого дормеза.

— Что бы там такое было? — подумала вслух m-lle Эмма, не обращаясь ни к кому. — Уж не та ли особа, которая едет с Блиновым.

— Какой красивый!.. восторг!.. — восхищалась откровенная Анниника, любуясь молодым человеком из дормеза, около которого теперь собрались все остальные.

На подъезд растерянно выскочил без фуражки швейцар Григорий и, вытянувшись по-солдатски, не сводил глаз с молодого человека в соломенной шляпе. Слышался смешанный говор с польским акцентом. Давно небритый седой старик, с крючковатым польским носом, пообещал кому-то тысячу «дьяблов». К галдевшей кучке, запыхавшись, подбегал трусцой Родион Антоныч, вытирая на ходу батистовым платком свое жирное красное лицо.

— Где нам остановиться? — обратился к нему молодой человек в ботфортах. — Я — до-

машний секретарь генерала Блинова, а это — венский оркестр.

— Отлично, отлично... — торопливо отвечал Родион Антоныч. — Для генерала Блинова приготовлено особенное помещение... Вы с ним остановитесь?

— О, это все равно... — с улыбкой проговорил молодой человек, глядя на кисло сморщившуюся физиономию Родиона Антоныча своими ясными, голубыми, славянскими глазами. — Мне крошечную комнатку — и только.

— Найдется и комнатка... все найдется. А относительно оркестра... Позвольте... Да пожалуйте, сначала вас нужно поместить, а потом и господам музыкантам место найдем. Извините, не знаю вашего имени и отчества...

— Гуго Альбертович Могула-Братковский, к вашим услугам... А позвольте узнать...

— Меня, Гугу...

— Гуго...

— Да, да... меня, Гуго Альбертович, зовут просто Родионом Антонычем. Тоже домашний секретарь при главном управляющих

всеми Кукарскими заводами, Платоне Васильевиче Горемыкине.

— Очень приятно, — баритоном протянул красавец поляк, заглядывая между прочих в окна, где виднелись лица Анниньки и m-lle Эммы.

— Так уж я сначала вам отведу квартиру, Гуго Альбертович… Эй, кучер, за мной!..

Поляк взъерошил свою красивую русую бородку, передернул широкими плечами и красиво зашагал по двору за торопливо семенившим Родионом Антонычем. Дормез покатился за ними, давя хрустевший под колесами речной хрящ, которым был усыпан весь двор, и остановился в следующем, где в сиренях и акациях кокетливо прятался только что выбеленный флигелек в три окна.

— Вот здесь… — проговорил Родион Антоныч с подавленным вздохом. — Григорий, ты вынесешь вещи, — обратился он к следовавшему в почтительном отдалении швейцару. — Или лучше я сам вытащу чемоданы…

— Нет, уж позвольте мне самому, — с утонченной вежливостью отказался Братковский. — У меня там очень капризные пасса-

жиры сидят.

Молодой человек подошел к экипажу, отворил дверцу и на тонкой стальной цепочке вывел оттуда двух порядочных обезьян, из которых одна сейчас же оскалила свои большие белые зубы на онемевшего от изумления Родиона Антоныча.

— Это... это что же такое, Гуго Альбертович? — проговорил он, машинальным движением снимая перед обезьянами свою соломенную шляпу.

— Обезьяны Нины Леонтьевны...

— Гм... — промычал Родион Антоныч.

«У Раисы Павловны Нерон, а у Нины Леонтьевны обезьяны... Так-с. Ох, уж эти дамы, дамы!.. А имя, должно быть, заграничное! Нина... Должно быть, какая-нибудь черкешенка, черт ее возьми совсем. Злющие канальи, говорят, эти черкешенки!»

— Я теперь обойдусь без вашей помощи, Родион Антоныч, — предупредил Братковский, когда свел обезьян в комнату.

— Отлично, отлично... Я вам пошлю человека: платье вычистить с дороги, сапожки.

— Пожалуй, пошлите, — лениво согласил-

ся молодой человек, исчезая в дормезе, откуда выглядывали углы чемоданов и каких-то поставцев.

— Сейчас же...

Родион Антоныч раскланялся с дормезом, в котором сидел Братковский, и уныло побрел к господам музыкантам, размышляя дорогой, куда он денет эту бесшабашную ораву. Пожалуй, еще стянут что-нибудь... Все это выдумки Прейна: нагнал орду дармоедов, а теперь изволь с ними возиться, когда работы без того по горло.

Появление гостей подняло весь господский дом на ноги. Горничные шныряли из комнаты в комнату с рассказом об обезьянах, как мыши, побывавшие в муке. Родион Антоныч, конечно, рассказал все Раисе Павловне с неизменными охами и вздохами, причем догадкам и предположениям не было конца. Первой догадалась, что сделать, Анниника: она торопливо надела шляпу и отправилась в сад, в ту аллею, которая проходила как раз под окнами занятого Братковским флигелька. Эта стратегика удалась ей — в окне сидел таинственный секретарь и курил сигару. Заме-

тив проходившую девушку, он вежливо поклонился ей.

— Красавец... — рассказывала Анниника, рдея румянцем. — Как сложен: кровь с молоком! А какие глаза, Эммочка, — чудо! голубые, большие... Просто расцеловала бы разбойника!..

Раиса Павловна тоже успела из-за гардины разглядеть таинственного молодого человека, которого сейчас и определила, поместив его в разряд крупных молодых людей. Это был не какой-нибудь выродок, как большинство нынешней молодежи, а настоящий молодой человек, сильный, здоровый, непременно веселый. Такие субъекты попадаются только в среде кавалеристов и обыкновенно сводят с ума вдовушек с богатырской комплекцией. Когда в дни своей молодости Раиса Павловна жила в аристократическом семействе, где познакомилась с Прозоровым, там часто бывали именно такие молодые люди. Все это был крайне развязный и остроумный народ, обращавшийся с женщинами с той особенной милой простотой, какая приобретается ранним знакомством с закулисной жизнью малень-

ких театров, загородных гуляний и цирков. От этих откровенных молодых людей всегда пахло лошадьми и конюшней, а в их преждевременной напускной серьезности слишком рано сказывались бессонные ночи и дорогие кутежи в обществе продажных красавиц. По человеческой логике казалось бы, что такие слишком опытные молодые люди не должны бы были пользоваться особенными симпатиями тепличных институтских созданий, но выходит как раз наоборот: именно на стороне этой золотой молодежи и сосредоточивались все симпатии восторженной и невинной юности, для которой запретный плод имел неотразимо притягательную силу. Раиса Павловна все это испытала на себе самой, и у ней невольно екнуло в груди ее сорокалетнее сердце при виде этого поляка-красавца, в котором все выдавало его кровное аристократическое происхождение,

— Да ведь это брат той балерины Братковской, о которой писал нам Загнеткин! — первая опомнилась Раиса Павловна. — Конечно, брат...

Родион Антоныч в ужасе развел руками и

даже растворил рот: как это он сам не мог догадаться, когда молодой человек отрекомендовался ему! Вот тебе и началось: сестрица вертит Лаптевым, братец — секретарем у генерала Блинова, — нечего сказать, хорошенькая парочка. Значит, что захочет Нина Леонтьевна, ей стоит только передать Братковскому, тот — своей сестре, а эта все и перевернет в барине вверх дном. Тонко придумано... Ай да Тетюев! Вот где зацепил ловко!.. И где же с таким человеком тягаться, когда он, Родион Антоныч, даже забыл спросить Братковского, когда приедет генерал Блинов? Пробовал он навести справки через господ музыкантов, но те про генерала ничего не знали и только на четырех языках просили водки.

— Ужо, я как-нибудь заверну к нему, Раиса Павловна, — предлагал Родион Антоныч. — А там под рукой и расспрошу о генерале, может и о сестричке что скажет...

— Нет, пожалуйста, этого не делайте: неделикатно надоедать незнакомому человеку, который, может быть, совсем и не желает видеть нас с вами.

Раиса Павловна говорила это, конечно,

неспроста: она ждала визита от Братковского. Действительно, он заявился к ней на другой же день и оказался именно тем, чем она представляла его себе. Это был премилый человек во всех отношениях и сразу очаровал дамское общество, точно он был знаком сто лет.

«Вишь, какая приворотная гривенка, — думал про себя Родион Антоныч, наблюдая все время интересного молодого человека. — Небойсь о генерале да о своей сестричке ни гу-гу... Мастер, видно, бобы разводить с бабами. Ох-хо-хо, прости, господи, наши прегрешения».

M-r Половинкин совсем потерялся в обществе блестящего молодого человека и только жалко хлопал глазами, когда тот заставлял Анниньку хохотать до слез. В своей черной паре и белом галстуке Братковский был необыкновенно хорош:, все на нем точно было вылито и могучие формы обрисовывало особенно эффектно. Когда он смеялся, Анниньке очень хотелось влепить ему самую отчаянную институтскую безешку. Эта беззаботная девушка в присутствии Братковского испытывала необыкновенно приятное волне-

ние, обдававшее ее щекотавшим теплом, а когда он на прощание особенно внимательно пожал ей руку, она вся вспыхнула горячим молодым румянцем и опустила глаза.

— Что это с тобой, Анниника? — спрашивала m-lle Эмма, когда они ложились вечером спать. — Ты какая-то странная сегодня, точно угорелая бродишь...

— Ах, не то, не то совсем, Эммочка... милая!.. — вскрикнула Анпипька, начиная целовать подругу самыми отчаянными поцелуями: на глазах у ней были слезы. — Я так... мне хорошо.

M-lle Эмма сразу поняла, что творилось с Анниникой, и только покачала головой. Разве для такой «галки», как Анниника, первая любовь могла принести что-нибудь, кроме несчастья? Да еще любовь к какому-то лупоглазому прощелыге, который, может быть, уж женат. M-lle Эмма была очень рассудительная особа и всего больше на свете дорожила собственным покоем. И к чему, подумаешь, эти дурацкие восторги: увидала красивого парня и распустила слюни.

— Глупости, Анниника... вздор! — сердито

проговорила m-lle Эмма, снимая с своих круглых ног чулки.

Бедная «галка» ничего не отвечала; уткнувшись головой в подушку, она тихо рыдала. M-lle Эмма даже плюнула при виде таких телячьих нежностей и пообещала Анниньке немецкого черта.

Братковский бывал в господском доме и по-прежнему был хорош, но о генерале Блинове, о Нине Леонтьевне и своей сестре, видимо, избегал говорить. Сарматов и Прозоров были в восторге от тех анекдотов, которые Братковский рассказывал для одних мужчин; Дымцевич в качестве компатриота ходил во флигель к Братковскому запросто и познакомился с обеими обезьянами Нины Леонтьевны. Один Вершинин заметно косился на молодого человека, потому что вообще не выносил соперников по части застольных анекдотов.

— А когда же ваш патрон приедет? — по сту раз на день спрашивали домашнего секретаря генерала Блинова.

— Ничего неизвестно, господа... Решительно — ничего! — уклончиво отвечал осторож-

ный молодой человек.

Родион Антоныч в сообществе с Сарматовым надеялся споить крепкого полячка, авось пьяный развяжет язык, но Братковский пил крайне умеренно и совсем не думал пьянеть.

Пока «малый двор» исключительно был занят секретарем генерала Блинова, ежедневно прибывали новые гости: подкатил целый обоз с кухней и поварами, потом приехало несколько подвод специально с гардеробом, затем конюшня и экипажи, наконец привалила охота. Вся эта орда большей частью была «устроена» на нижнем дворе, где в тетюевские времена помещалась господская дворня. Егеря в голубых кунтушах, целый штаб из камердинеров, наездники, кучера, музыканты — все это смешалось в невообразимо пеструю кучу, точно на нижнем дворе остановился для нескольких представлений какой-нибудь громадный странствующий цирк.

— Ведь все они до последнего есть каждый день хотят!.. — восклицал Родион Антоныч, ломая в отчаянии руки. — А тут еще нужно кормить двадцать пять лошадей и целую свору собак... Извольте радоваться. Ох-хо-хо!..

Глава 10

Прошел май, а барин все не ехал.

В господском доме стояла страшная и томительная скука, какая овладевает человеком перед грозой. Даже самые трусливые, в том числе Родион Антоныч, настолько были утомлены этим тянувшим душу чувством, что, кажется, уже ничего не боялись и желали только одного, чтобы все это поскорее разрешилось в ту или другую сторону. Братковский держался по-прежнему и чувствовал себя как рыба в воде; музыканты, егеря, кухня и наездники пьянствовали напропалую, не обращая никакого внимания на кислые гримасы Родиона Антоныча, оплакивавшего каждую бутылку водки.

Когда все таким образом привыкли к своему положению и даже начали говорить, что все равно — двух смертей не бывать, а одной не миновать, из Петербурга от Прохора Сазоныча прилетела наконец давно ожидаемая телеграмма, гласившая: «Сегодня Лаптев выезжает с Прейном и Блиновым. Заводных приготовьте пятнадцать троек».

— Ну, началось! — простонал Родион Антоныч, чувствуя, как у него подгибаются колени со страху.

— Пятнадцать троек! — думала вслух Раиса Павловна, перечитывая телеграмму. — Это целая орда сюда валит. От Петербурга до Москвы сутки, от Москвы до Нижнего сутки, от Нижнего до Казани — двое, от Казани по Волге, потом по Каме и по Белой — трое суток... Итого, неделя ровно. Да от Белой до Кукарского завода двести тридцать верст — тоже сутки. Через восемь дней, следовательно, все будут здесь. Слышите, Родион Антоныч?

— Ох, слышу, все слышу...

— У вас все будет готово?

— Все, все... Не знаю, как на других заводах, а у нас все...

— Да нам до других заводов дела нет; там свои управители есть, и пусть отдуваются. Да Лаптев едва ли и поедет от нас... Нам придется за всех здесь муку принимать.

— Точно так-с. Майзель уж собрал лесообъездчиков со всех сторон и мундиры им заказал... Около Куржака медвежью берлогу отыскали, матерая медведица с двумя медвежата-

ми ходит. Под Заозерным оленей сказывают.

— Значит, отлично на первый раз. А как театр?

— Это уж Сарматов орудует...

— Главное: костюмы... понимаете? У Наташи Шестеркиной плечи хорошие, ну, ее декольтируем, а Кануниикову в русском сарафане покажем. Я за этим сама наблюду.

— Вот я хотел вам сказать, Раиса Павловна, насчет Лукерьи Витальевны... Барышня совсем заневестилась и по всем статьям вышла. Вот бы показать на сцене-то.

— Молода еще она для сцены, сробеет... — уклончиво ответила Раиса Павловна, что-то обдумывая про себя.

— И даже нисколько не сробеют... Я их както видел: так и наливаются, вроде как малина! Ей-богу!

— Ну, это уж мое дело. Пусть ее наливается, а для сцены она не годится: совсем еще девчонка девчонкой... Плечи узенькие, тут (Раиса Павловна сделала выразительный жест рукой) ничего нет.

— Ватки бы подложить да пажиком бы и показать. Хе-хе. Они точно что из себя суб-

тильные, а может, это и нужно будет. Господская душа — потемки, сударыня. Ах, все я вам забываю доложить, — понизив тон, продолжал Родион Антоныч, — родитель-то Гликерии Витальевны...

— Запил?

— Даже весьма. Точно назло: все стараются, всякий по своей части из кожи лезут, а он мертвую закладывает. Приступа даже нет... А вдруг Евгений Константиныч захотят заводские школы осмотреть? «Где инспектор?» А у них даже костюма подходящего нет...

— Костюм нужно сшить, да приставьте к нему садовника Абрама, чтобы день и ночь караулил. Да еще не забудьте сказать доктору, чтобы прописал чего-нибудь: хлорала или нашатырного спирта.

— Слушаю-с.

Родион Антоныч хотел уходить, но вернулся и конфиденциально сообщил:

— А Вершинин-то, Раиса Павловна, с Тетюевым да с Майзелем хотят контру устроить Платону Васильичу... И Сарматов с Дымцевичем туда же.

— Подлецы! Ах, да все они на одну колодку

выкроены. Тетюева видели? Доволен?..

— Издальки видел... Веселый такой едет на новой лошади. Серая, в яблоках...

— Ну, и пусть его повеселится, а вы тоже не печальтесь.

— Я, Раиса Павловна, не печалюсь: двух смертей не бывать...

— То-то и есть. Гусей по осени считают, и хорошо только то, что хорошо кончается... Так?

Восемь дней, оставшиеся до приезда Лаптева, промелькнули незаметно в общей, теперь уже бесцельной суматохе, какая овладевает людьми в таких исключительных случаях. Наконец наступил и роковой восьмой день. С раннего утра весь завод был на ногах. По улицам бродили праздные кучки любопытных, а на площади, перед зданием заводоуправления и особенно около господского дома, народ стоял стена стеной, несмотря на отчаянные усилия станового и нескольких полицейских водворить порядок в этом галдевшем живом море. Мастеровые в новых зипунах и армяках, старики с палками, бабы в пестрых платках, босоногие ребятишки — все

слилось в одну массу, которая приготовилась простоять здесь до самого вечера, чтобы хотя одним глазком взглянуть на барина. Загорелые, обожженные в огненной работе лица заводских рабочих выглядели сегодня празднично, с тем довольным выражением, с каким смотрит отдыхающий человек. Бабы трещали, как сороки, пощелкивая кедровые орехи; ребятишки совались меж ног, толкали всех и, как воробьи, рассыпались в мгновение ока при первом грозном слове какого-нибудь сердитого старика, с благоговением глядевшего в окна барского дома. Общее настроение толпы было самое торжественное. Ведь барин являлся чем-то вроде стихийной силы, которая слепо осыпает своими милостями и невзгодами; барин служил олицетворением возможного на земле могущества. Мужицкая фантазия терялась в перечислении всех необходимых атрибутов такого барина, каким был Лаптев. Он все может сделать, что захочет; казне нет счету, земле — конца-краю, и т. д.

Для человека нового эта пятитысячная толпа представлялась такой же однообразной

массой, как трава в лесу, но опытный взгляд сразу определял видовые группы, на какие она распадалась естественным образом.

Основание составляли собственно фабричные рабочие, которых легко было отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам, вытянутым, сутуловатым фигурам и той заводской саже, которой вся кожа пропитывается, кажется, навеки. Тут были простые поденщики, черноделы и рабочая аристократия. Все эти люди, изо дня в день тянувшие каторжную заводскую работу, которую бойкий заводский человек недаром окрестил огненной, теперь слились в одно общее желание взглянуть на барина, для которого они жарились у горнов, ворочали клещами раскаленные двенадцатипудовые крицы, вымогались над такой работой, от которой пестрядевые рубахи, после двух смен, вставали от потовой соли коробом. Фабрика рядом поколений выработала совершенно особенный тип заводского фабричного, который в состоянии вынести нечеловеческий труд. Эти жилистые, могучие руки, эти красные затылки, согнутые спины и крепкая, уверенная по-

ступь были точно созданы для заводской работы. Каждая фигура была сколочена из одних костей и мускулов и дышала чисто заводской силой. На первый раз могло поразить то, что самые здоровые субъекты отличались худобой, но это и есть признак мускульной, ничем не сокрушимой силы. Как рядовой солдатик-пехотинец, так и заводский мастеровой страдают жировым перерождением только в исключительных случаях. Красные рубахи, накинутые на плечи чекмени и лихо надвинутые на одно ухо войлочные шляпы придавали фабричным рабочим вид записных щеголей, которые умеют поставить последнюю копейку ребром.

Полным контрастом с заводскими мастеровыми являлись желтые рудниковые рабочие, которые «робили в горе». Изнуренные лица, вялые движения и общий убитый вид сразу выделял их из общей массы, точно они сейчас только были откопаны откуда-то из-под земли и не успели еще отмыть прильнувшей к телу и платью желтой вязкой глины. Работа «в горе», на глубине восьмидесяти сажен, по всей справедливости может назвать-

ся каторжной, чем она и была в крепостное время, превратившись после эмансипации в «вольный крестьянский труд». Конечно, «в гору» толкала этих желтых, выцветших людей самая горькая нужда, потому что там платили дороже, чем на других работах. Стоило только раз попасть рабочему в медный рудник, чтобы на веки вечные обречь следующие поколения на эту же работу. Это объясняется очень просто: молодых, здоровых рабочих толкает «в гору» возможность больших заработков, но самый сильный человек «израбливается» под землей в десять — двенадцать лет, так что поступает на содержание к своим детям в тридцать пять лет. Таким образом, детям рудниковых рабочих приходится слишком рано содержать не только самих себя и свои семьи, но и семью отца, а такой заработок может дать только одна «гора». Получается роковой круг, из которого вырваться могут только счастливцы: рудниковый рабочий органически связан со своей «горой», как устрица со своей раковиной. Вообще трудно сказать, что труднее — работать «в горе» или в огненной работе, но и те и другие рабочие

являются настоящими гномами нашего «века огня и железа».

Между этими основными группами толкались черномазые углежоги, приехавшие поглядеть барина из дальних лесных деревень, «транспортные», прозванные за свою отчаянность «соловьями», и всякий другой рабочий люд, не имевший определенной специальности или менявший ее с каждым годом. Сюда же прибрели самые древние старики, вытянувшиеся еще на крепостном праве. Достаточно было взглянуть на эти согнутые в дугу спины, подгибавшиеся колени и дрожавшие корявые руки, чтобы сразу узнать бывших огненных и рудниковых рабочих. Они чинно держались в стороне от молодых рабочих, большинство было с длинными черемуховыми палками. Около них вертелись босоногие ребятишки, особенно те, которые еще по успели отведать заводской работы. И слабые детские руки тоже принимали участие в гигантской заводской работе, с десяти лет помогая семьям своим гривенником поденщины.

— Одначе долго-таки барин не едет! — говорил какой-то седой старик, поглядывая в

окна господского дома. — Пора бы! с которого времени дожидаем...

— Уехали, слышь, встречать на Половинку: Платон Васильич с управителями, Родивон Антоныч, Николай Карлыч... На пяти тройках угнали, а лесообъездчики — на вершных. Так запалили, что страсть...

Когда вдали, по Студеной улице, по которой должен был проехать барин, показывалась какая-нибудь черная точка, толпа глухо начинала волноваться и везде слышались возгласы: «Барин едет!.. Барин едет... Вот он!..» Бывалые старики, которые еще помнили, как наезжал старый барин, только посмеивались в седые бороды и приговаривали:

— Он и есть, барин! Как есть, дураки! Разве барин так тебе и поехал! Перво-наперво пригонят загонщики, потом в колокола ударят по церквам, а уж потом и барин, с фалетуром, на пятерке. А то: барин! Только вот Тетюева не стало, некому принять барина по-настоящему. Нынче уж что! только будто название, что главный управляющий!

— Ноне народ вольный, дедушка, — заметил кто-то из толпы мастеровых. — Это до-

прежь того боялись барина пуще огня, а ноне что нам барин: поглядим — и вся тут. Управитель да надзиратель нашему брату куда хуже барина!

— Сравнял... Эх, вы-ы!.. Мало вас драли, вот и брешете. Кабы жив был старик Тетюев, да...

— Это ты верно говоришь, дедушка, — вступился какой-то прасол. — Все барином кормимся, все у него за спиной сидим, как тараканы за печкой. Стоит ему сказать единое слово — и кончено: все по миру пойдем... Уж это верно! Вот взять хошь нас! живем своей торговой частью, барин для нас тьфу, кажется, а разобрать, так... одно слово: барин!.. И пословица такая говорится: из барина пух — из мужика дух.

— Уж это что говорить, знамо дело, что все барином дышим! — согласился за всех кто-то в толпе.

Во двор господского дома пускались только избранные: депутации от всех волостей, заслуженные мастеровые в дареных господских кафтанах, обшитых позументом, служащие, рыженький священник с причтом и т. д. В передней с раннего утра топталась степен-

ная группа стариков. Это были коноводы той партии общественников, которые тягались с Родионом Антонычем из-за уставной грамоты. Теперь они пришли в господский дом с новой надеждой, что с приездом барина наконец уладится и их дело. В уверенном выражении этих серьезных лиц сказывалась непоколебимая вера в правоту своего дела и твердое желание послужить миру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все увидит, все разберет и все устроит.

— Что, старички? жалобу принесли барину? — спрашивала Раиса Павловна, проходя по передней.

— А уж что бог даст, Раиса Павловна. Мы ведь из вашей господской воли не выходим, только нам наше бы добыть.

— Напрасно вы с своими пустяками Евгения Константиныча хотите беспокоить, старички!

— Уж это как господь ему на душу положит.

В приемных комнатах господского дома в выжидательном молчании сидели старшие служащие. В громадной зале был сервирован

стол для обеда, а на хорах гудела разноязычная толпа приезжих музыкантов, приготовившихся встретить гостей торжественным тушем.

Среди общего молчания раздавались только шаги Анниньки и m-lle Эммы: девицы, обнявшись, уныло бродили из комнаты в комнату, нервно оправляя на своих парадных шелковых платьях бантики и ленточки. Раиса Павловна сама устраивала им костюмы и, как всегда, осталась очень недовольна m-lle Эммой. Анниника была хороша — и своей стройной фигуркой, и интересной бледностью, и лихорадочно горевшими глазами, и чайной розой, небрежно заколотой в темных, гладко зачесанных волосах.

Глава 11

На фабрике часы пробили двенадцать, час, два, а барин все не ехал. Толпы все прибывали, заполнив морем голов всю площадь перед зданием заводоуправления и вытянувшись в длинный шевелившийся хвост мимо господского дома вдоль всей Студеной улицы. Чтобы как-нибудь не прозевать барина, большинство поступилось даже обедом. В господском доме выжидательное настроение давно уже отразилось в усталом выражении всех глаз, в побледневших лицах и в том особенном нервном состоянии, от которого у всех пересохло во рту. Раиса Павловна не знала, как ей убить мучительно тянувшееся время. Она нервно переходила из одной комнаты в другую, осматривала в сотый раз, все ли готово, и с тупым выражением лица останавливалась у окна, стараясь не глядеть в дальний конец Студеной улицы.

— Этот Платон Васильич больше, чем идиот, — говорила она Анниньке. — Ну что ему стоило послать из Половники какого-нибудь лесообъездчика?.. Наконец Родион Антоныч

чего смотрит! Это можно с ума сойти!

— Раиса Павловна! — перебила эту горячую реплику появившаяся в дверях m-lle Эмма, — там... пришел Виталий Кузьмич...

— Ох, боже мой! Этого только еще недоставало! и, конечно, пьян?

— Да... сильно пошатывается.

— Что ему нужно? Скажи кому-нибудь, чтобы его прибрали подальше от глаз...

В этот момент толпа на улице глухо загудела, точно по живой человеческой ниве гулкой волной прокатилась волна. «Едет!.. Едет!..» — поднялось в воздухе, и Студеная улица зашевелилась от начала до конца, пропуская двух верховых, скакавших к господскому дому на взмыленных лошадях во весь опор. Это и были давно ожидаемые всеми загонщики, молодые крестьянские парни в красных кумачных рубахах.

— Сейчас выезжает с Половинки... — кричали они, спешиваясь у крыльца господского дома.

Не успели загонщики «отлепортовать» по порядку слушавшему их служащему, как дальний конец Студеной улицы точно дрог-

нул, и в воздухе рассеянной звуковой волной поднялось тысячеголосое «ура». Но это был еще не барин, а только вихрем катилась кибитка Родиона Антоныча, который, без шляпы, потный и покрытый пылью, отчаянно махал обеими руками, выкрикивая охрипшим голосом:

— Тише!.. Ах, б-божже мой!.. Чертоломы вы этакии! чего напрасно глотку дерете?! Чему обрадовались?

— Ну? — спрашивала Раиса Павловна, выбегая навстречу к Сахарову.

— Ох, беда! Сорок лошадей загнали на восьми станциях... Семнадцать троек бежит... Видел *самого* и к ручке приложился! — высыпал Родион Антоныч привезенные новости.

— Да что вы так долго там, на Половинке, сидели?

— Чай пили...

— Отчего же вы меня не известили? Мы тут голову совсем потеряли, а они там чай распивают.

— Не мы, а *сам* чай пил.

— Так бы и послали сказать. А *ту* видели?

Родион Антоныч только махнул рукой и

побежал в переднюю, где сейчас же накинулся на депутацию с хлебом-солью:

— В церковь ступайте... все в церковь!.. Да чтобы звонили, во вся звонили, как только покажется пыль на дороге.

Точно в ответ на эти слова на пяти заводских церквах загудели все колокола, и Родион Антоныч торопливо начал креститься. Через минуту он уже подымался на паперть главной церкви, которая стояла посреди базарной площади. Там уже ждало духовенство во всем облачении, и народ набожно снял шапки. Выстроив депутацию с хлебом-солью у паперти, Родион Антоныч, заслонив рукой глаза от солнца, впился в дальний конец Студеной улицы, по которой теперь, заливаясь колокольчиками, вихрем мчалась исправничья тройка с двумя казаками назади. За ней во весь карьер летел открытый дорожный дормез, заложенный пятеркой. В воздухе катилась целая буря отчаянных звуков, нараставших и увеличивавшихся с каждым шагом вперед, как катившийся под гору снежный ком. Когда дормез подъезжал к церкви, вся Студеная улица и площадь представляли со-

бой настоящее море, которое кипело и бурлило каждым своим атомом. Гул колоколов и дружный крик тысяч людей слились в одни протяжный стон. Общее внимание было приковано к катившемуся дормезу, в котором сидели трое в белых летних костюмах. Один из них время от времени снимал какую-то пеструю шапочку без козырька и раскланивался на обе стороны.

— Вот он, барин-от... Уррра-а-а-а!.. — неистово орал какой-то мастеровой, в порыве энтузиазма хватаясь за колесо останавливавшегося экипажа.

— Голубчик ты наш! родименький! — подвывали в толпе бабы, вытягиваясь на носочки.

Дормез остановился перед церковью, и к нему торопливо подбежал молодцеватый становой с несколькими казаками, в пылу усердия делая под козырек. С заднего сиденья нерешительно поднялся полный, среднего роста молодой человек, в пестром шотландском костюме. На вид ему было лет тридцать; большие серые глаза, с полузакрытыми веками, смотрели усталым, неподвижным взглядом.

Его правильное лицо с орлиным носом и белокурыми кудрявыми волосами много теряло от какой-то обрюзгшей полноты.

— И к чему вся эта дурацкая церемония, генерал? — лениво по-французски протянул молодой человек, оглядываясь с подножки экипажа на седого старика с строгим лицом.

— Нельзя, Евгений Константиныч, такой обычай! — по-французски ответил старик, поднимаясь с места.

Шотландский костюм барина сначала немного смутил восторженную публику, по потом все решили, что, вероятно, так нужно, потому барин — значит, закон ему не писан. Баб ужасно заинтересовала клетчатая пестрая юбочка, а мужиков — отсутствие штанов. Пестрый плед, пестрая шапочка, с длинными лентами на затылке, и чулки на ногах тоже были, конечно, подвергнуты самой строгой критике и тоже получили свое объяснение: барин. Только голые колени барина немного смутили самых смелых, потому что решительно не находилось для них никакого подходящего извиняющего мотива. Зато генерал своей внушительной высокой фигурой и сер-

дитыми седыми усами произвел на окружающих самое хорошее впечатление: настоящий генерал, хотя и штатский. Его длинное лицо, с резкими, точно обрубленными линиями, отдавало солдатской выправкой; только небольшие темные глаза смотрели добрым и открытым взглядом. Дорожный простой костюм старика и мягкая пуховая шляпа представляли рядом с пестротой шотландского костюма приятный контраст.

— Что же мне теперь делать? — с капризными нотками в голосе спрашивал Лаптев, когда генерал вышел из экипажа.

— Ничего больше, как только подняться на колокольню и оттуда раскланяться с народом, — отозвался из экипажа сухонький подвижной господин неопределенных лет.

— Ах, мне не до шуток, Прейн! — усталым голосом проговорил Лаптев.

Сухощавое лицо Прейна с щурившимися бесцветными глазами и тонкими морщинами около породистого горбатого носа улыбнулось беспечной и вместе уверенной улыбкой. Небольшого роста, с сильной грудью и тоненькими ножками, Прейн походил на жокея

в отставке или наездника из цирка. Слишком нервная натура сказывалась в каждом движении, особенно в игре личных мускулов и улыбающемся, пристальном взгляде. И одет Прейн был как жокей: коротенькая синяя куртка, лакированные сапоги, белые штаны, шляпа-котелок на голове. Его маленькая, тощая фигурка рядом с массивной, представительной фигурой генерала казалась особенно жалкой. Этот подвижный, юркий человек обладал неистощимым запасом какого-то бесшабашного веселья и так же весело и беззаботно острил, когда отправлялся на дуэль, как и сидя за стаканом вина.

Когда Лаптев, в сопровождении Блинова и Прейна, поднимался на церковную паперть, к церкви успели подъехать три следующих экипажа, из которых торопливо повыскакивали Горемыкин, Майзель, Вершинин и двое еще не известных лиц. Они рысцой вбежали на паперть, где теперь Лаптев, сняв свою шотландскую шапочку, прикладывался к кресту. Сахаров первым успел просунуть свою коротко остриженную голову и торопливо приложился к барской ручке, подавая пример сто-

явшим с хлебом-солью депутатам, мастеровым в дареных синих кафтанах и старым служащим еще крепостной выправки. Осанистый старик священник с окладистой седой бородой достал из-под ризы бумажку и хотел по ней прочесть приветственное пастырское слово, но голос у него дрогнул на первых строках, и он только бессвязно пробормотал какой-то текст из Священного писания.

— Пожалуйста, увезите меня отсюда скорее! — взмолился Лаптев, когда на него со всех сторон посыпались рабьи поцелуи; кто-то в пылу энтузиазма целовал даже его голое колено. — Это какие-то сумасшедшие!

Выбраться из толпы, которая была слишком наэлектризована этой торжественной минутой, было не так-то легко, и только при помощи казаков и личном усердии станового и исправника Лаптева наконец освободили от сыпавшихся на него со всех сторон знаков участия. Пришлось пробираться до экипажа через живую стену.

— Евгений Константиныч, куда же это вы? — кричал по-французски Блинов, стараясь пробиться через толпу, которая отделяла

его от Лаптева. — Сейчас будет молебен, Евгений Константиныч...

— Оставьте его! — ответил Прейн из экипажа, в который он залез через облучок. — После отслужим... Валяйте, генерал, по моему примеру, через облучок: все дороги ведут в Рим.

У коляски Лаптева ожидало новое испытание. По мановению руки Родиона Антоныча десятка два катальных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили тяжелый дорожный экипаж на себе. Толпа неистово ревела, сотни рук тянулись к экипажу, мелькали вспотевшие красные лица, раскрытые рты и осовевшие от умиления глаза.

— Что же это такое наконец? — уже сердито обратился Лаптев к Прейну.

Прейн только пожал плечами и сквозь зубы проговорил:

— Пусть их везут, если им это доставляет удовольствие.

— Да я этого не хочу!.. Я лучше пойду пешком.

— Сейчас доедем, Евгений Константиныч, — успокаивал генерал. — Вон, кажется, и

господский дом, если не ошибаюсь...

— Да, да... — подтверждал Прейн, — всего несколько шагов...

— Мне остается только поблагодарить вас, генерал, за этот даровой спектакль, — с иронией заметил Лаптев.

— Что делать! нужно потерпеть, Евгений Константиныч! Имейте терпение.

— Стоит для этого тащиться из Петербурга в такую даль.

Когда торжественная процессия приблизилась к господскому дому, окна которого и балкон были драпированы коврами и красным сукном, навстречу показалась депутация с хлебом-солью от всех заводов. Старик, с пожелтевшей от старости бородой, поднес большой каравай на серебряном блюде.

— Примите блюдо и поблагодарите, — шепнул Блинов смутившемуся заводовладельцу.

— Благодарю, господа... Я... очень доволен, хотя, право, это совсем лишнее, — развязно заговорил Лаптев, принимая блюдо от старика.

Чтобы предупредить давешнюю сцену на-

родного энтузиазма, проход от экипажа до подъезда был оцеплен стеной из казаков и лесообъездчиков, так что вся компания благополучно добралась до залы, где была встречена служащими и громким тушем. Лаптев рассеянно поклонился служащим, которые встретили его также хлебом-солью и речью, и спросил, обратившись к Прейну:

— Вы заметили второе окно направо?

— О да... премилое личико! Вероятно, какая-нибудь интересная провинциалочка. Вам не мешает переодеться после дороги...

Прейн провел Лаптева в его уборную, где уже ждал англичанин-камердинер, m-r Чарльз. Лаптев точно обрадовался и даже осведомился, благополучно ли m-r Чарльз сделал последнюю станцию, причем детски-капризным голосом начал жаловаться на страшную усталость и на те церемонии, какими его сейчас только угостили. M-r Чарльз выслушал своего повелителя с почтительным достоинством, как и следует слуге высшей школы. Его упитанная, выхоленная фигура, красивое бесстрастное лицо, безукоризненные манеры, костюм, прическа, произноше-

ние, ногти на руках — все было проникнуто одним сплошным достоинством, которому не было границ. Когда m-r Чарльз гулял для моциона пред обедом, его можно было принять за министра в отставке. Недаром один остряк сказал про Лаптева, что он уважает в свете только одного человека — m-r Чарльза. Этот отзыв был близок к истине.

— Не угодно ли вам выбрать костюм для завтрака? — проговорил m-r Чарльз, предлагая вниманию своего повелителя две дюжины панталон, таковое же количество жилетов, визиток, галстуков и сорочек.

Лаптев ежедневно переодевался minimum четыре раза и теперь переменил свой шотландский костюм на светло-серую летнюю пару из какой-то мудреной индийской материи. M-r Чарльз, конечно, не надел бы такого костюма для парадного завтрака, но величественно и с достоинством промолчал.

Глава 12

Пока совершался торжественный проезд Лаптева от церкви до господского дома, в этом последнем нервное напряжение достигло до последней степени. Раиса Павловна чувствовала, как у ней похолодели пальцы, а в висках стучала кровь. В своем шелковом кофейном платье, с высоко взбитыми волосами на голове, она походила на театральную королеву, которая готовится из-за кулис выйти на сцену с заученным монологом на губах. Анниника, m-lle Эмма и Прасковья Семеновна выглядывали на улицу из-за оконных драпировок, а Раиса Павловна стояла у окна вместе с Лушей, одетой в свое единственное нарядное платье из чечунчи. «Галки» с лихорадочным нетерпением переживали все перипетии развертывавшейся пред их глазами комедии. Анниника во всей этой суматохе видела только одного человека, и этот человек был, конечно, Гуго Братковский; m-lle Эмма волновалась по другой причине — она с сердитым лицом ждала того человека, которого ненавидела и презирала. Прасковья Семеновна смот-

рела вдоль Студеной улицы со слезами на глазах, точно сегодняшний день должен был окончательно разрешить ее долголетние ожидания. Теперь уж ждала не одна она, а все ждали — и Раиса Павловна, и m-lle Эмма, и Анниника. Раиса Павловна внимательно наблюдала Лушу и любовалась ею. Разве эта девушка нуждалась в бархате, кружевах и остальной мишуре, когда природа наделила ее с такой несправедливой щедростью? В порыве чувства Раиса Павловна тихонько поцеловала Лушу в шею и сама покраснела за свою институтскую нежность, чувствуя, что Луше совсем не правятся проявления чувства в такой форме.

Волна оглушительных криков, когда поезд с барином двинулся от церкви, захлестнула и во второй этаж господского дома, где все встрепенулось, точно по Студеной улице ползло тысячеголовое чудовище. Луша смотрела на двигавшуюся но улице процессию с потемневшими глазами; на нее напало какое-то оцепенелое состояние, так что она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Вот и дормез, который катился по улице точно сам со-

бой... Мелькнула шапочка Лаптева, его волнистые белокурые волосы; Прейн весело раскланялся с Раисой Павловной и, прищурившись, пристально взглянул на Лушу. Луше показалось, что и Лаптев тоже смотрит на нее, и она инстинктивно отскочила от окна в глубину комнаты.

— Приехал! приехал! — восторженно шептала Прасковья Семеновна, не утирая слез, катившихся у нее по щекам.

Пока Лаптев принимал хлеб-соль, к господскому дому подъезжала одна тройка за другой. Из экипажей выходил всевозможный человеческий сброд, ютившийся вокруг Лаптева: два собственных секретаря Евгения Константиныча, молодые люди, очень смахивавшие на сеттеров; корреспондент Перекрестов, попавший в свиту Лаптева в качестве представителя русской прессы, какой-то прогоревший сановник Летучий, фигурировавший в роли застольного забавника и складочного места скабрезных анекдотов, и т. д. Большинство составляло какие-то темные, потертые личности в отличных дорожных костюмах; кто они и что — вероятно, не открыть ника-

ким химическим анализом, никаким самым тщательным микроскопическим исследованием. Эти господа смотрели свысока на всех, презрительно пожимали плечами и лениво перебрасывались шаблонными французскими фразами. Раиса Павловна достаточно насмотрелась на своем веку на эту человеческую мякину, которой обрастает всякое известное имя, особенно богатое, русское, барское имя, и поэтому пропускала этих бесцветных людей без внимания; она что-то отыскивала глазами и наконец, толкнув Лушу под руку, прошептала:

— Вот *она*, Луша...

— Кто?

— Да та каналья, которая едет с генералом в качестве его... ну, его метрессы.

Раиса Павловна в бинокль пристально рассматривала толстую, безобразную, небольшого роста даму, которая сидела в дорожной коляске генерала.

— Это какой-то орангутанг! — пропищала Анниника, сдержанно хихикая. — Эммочка, голубчик! посмотри... Настоящая обезьяна в мешке!

— Жеваная котлетка... — коротко проговорила m-lle Эмма, лорнируя незнакомку. — Точно сейчас вынутый из банки со спиртом урод!

— Удивляюсь! — медленно протянула Раиса Павловна, поднимая кверху свои жирные плечи.

«Галки» тоже подняли свои плечи и удивились неприхотливому вкусу генерала Блинова. Суд был короток, и едва ли какой другой человеческий суд вынес бы такой строгий вердикт, как суд этих женщин.

Коляска генерала проследовала к генеральскому флигельку, где Нину Леонтьевну встретил пан Братковский, улыбавшийся и державший почтительно свою соломенную шляпу в руках.

— Настоящая чугунная болванка! — проговорила m-lle Эмма, когда Нина Леонтьевна вкатилась своей почти квадратной тушей в недра генеральского флигелька.

— Удивляюсь! — еще раз протянула Раиса Павловна и улыбнулась уничтожающей улыбкой, какая убивает репутацию человека, как удар гильотинного ножа.

— Видели? — сдержанным шепотом спрашивал Родион Антоныч, точно вынырнувший около Раисы Павловны из-под земли.

— Да, да... поздравляю с находкой!.. Это какое-то гороховое чучело... монстр! Удивляюсь!!.. А что Евгений Константиныч?

— Изволят одеваться, Раиса Павловна. Просто чистая беда... Отец Аристарх давеча хотел сказать приветственное слово и со страху только бородкой трясет... Ей-богу!.. А народ что делает! Видели, как лесообъездчики катили дормез-то! Как быки, так и прут!

— Что вы тут толчетесь? — оборвала его болтовню Раиса Павловна. — Посмотрите, все ли готово в столовой.

— Смотрел, все смотрел. Готово все-с. Только Евгений Константиныч выйдут из уборной, сейчас я вам прибегу сказать.

— Хорошо, хорошо... Mademoiselle Эмма, у вас пуговка у лифа расстегнулась. Анниника, поправьте галстучек... А ты куда, Луша?

— Я домой, Раиса Павловна.

Раиса Павловна торопливо поцеловала свою фаворитку и отпустила ее восвояси. Луша, пошатываясь, вышла из комнаты, про-

шла через веранду и в каком-то тумане побрела к своему нищенскому углу. Глаза у ней горели, грудь тяжело поднималась, в горле стояли слезы. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной, как в этот момент, и от бессильной злобы в клочки рвала какую-то несчастную оборку на своем платье. А июньское солнце светило таким благодатным светом, обливая дрожавшим и переливавшимся золотом деревья, траву, цветы и ряды волн, плескавшихся о каменистый берег. Ничего этого не видела Луша, придавленная и уничтоженная своей нищетой.

Раиса Павловна тревожно поглядывала на часы, считая минуты, когда ей нужно будет идти в столовую в качестве хозяйки и вывести за собой «галок», как необходимый элемент, в видах оживления предстоящей трапезы. Прасковья Семеновна в счет не шла.

— Раиса Павловна! — прошептала Аннинька, показывая глазами на то окно, из которого можно было видеть генеральский флигелек.

Изумленным глазам Раисы Павловны представилась такая картина: Гуго Братковский вел Нину Леонтьевну под руку прямо к

парадному крыльцу. «Это еще что за комедия?» — тревожно подумала Раиса Павловна, едва успев заметить, что «чугунная болванка» была одета с восточной пестротой.

— Прошли в господский дом... — как эхо повторила Анниника мысли своей патронши. — Вероятно, это чучело ошиблось подъездом.

Когда через пять минут в комнату вбежал встревоженный и бледный Родион Антоныч, дело разъяснилось вполне, с самой беспощадной ясностью для всех действующих лиц.

— Раиса Павловна! Раиса Павловна! — задыхаясь, шептал верный слуга. — *Она... та,* которая приехала с генералом, теперь в столовой и... и...всем распоряжается. Да, своими глазами видел!

— Не может быть, вы ошиблись? — заметила Раиса Павловна, выпрямляясь во весь рост.

— Нет, Раиса Павловна... Я слышал, как *она* сказала генералу, что желает быть здесь полной хозяйкой и никому не позволит угощать Евгения Константиныча обедом. Генерал ее начал было усовещивать, что настоящая хо-

зяйка здесь вы, а она так посмотрела на генерала, что тот только махнул рукой.

В голове у Раисы Павловны от этих слов все пошло кругом; она бессильно опустилась на ближайшее кресло и только проговорила одно слово: «Воды!» Удар был нанесен так верно и так неожиданно, что на несколько мгновений эта решительная и энергичная женщина совсем потерялась. Когда после нескольких глотков воды она немного пришла в себя, то едва могла сказать Родиону Антонычу:

— Передайте Прейну и Платону Васильичу, что я извиняюсь пред Евгением Константинычем, что не могу сегодня, по болезни, занять за столом свое место хозяйки дома...

«Галки» окружили Раису Павловну, как умирающую. Аннинька натирала ей виски одеколоном, m-lle Эмма в одной руке держала стакан с водой, а другой тыкала ей прямо в нос каким-то флаконом. У Родиона Антоныча захолонуло на душе от этой сцены; схватившись за голову, он выбежал из комнаты и рысцой отправился отыскивать Прейна и Платона Васильевича, чтобы в точности пере-

дать им последний завет Раисы Павловны, которая теперь в его глазах являлась чем-то вроде разбитой фарфоровой чашки.

В столовой, где был сервирован обед, Родион Антоныч увидел Нину Леонтьевну, окруженную обществом милых бесцветных людей, ходивших за ней хвостом. Тут же толклись корреспондент Перекрестов и прогоревший сановник Летучий, ходившие по столовой под ручку и уже давно нюхавшие воздух.

— Когда я был в Сингапуре, нас капитан угостил однажды китайской рыбой... — повествовал Перекрестов, жидкий и вихлястый молодой человек, с изношенной, нахальной физиономией, мочальной бороденкой и гнусавым, как у кастрата, голосом.

Летучий был не лучше, хотя и в другом роде. Это был седой приличный субъект, с слезившимися голыми глазами старого развратника и плотоядной улыбкой на сморщенных, точно выжатых губах; везде, где только можно, у него блестело массивное золото без пробы и фальшивая бриллиантовая булавка в галстуке. Говорил он хриповатым баском и постоянно потирал свои большие руки, затя-

нутые в безукоризненно-свежие лайковые перчатки. Когда-то Летучий был сановником, попечениям которого был вверен целый край, по колесо фортуны повернулось, и он очутился в приживалках у Лаптева, которого утешал своими анекдотами «из детской жизни». Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом помпадурства, являлся настоящим homo novus; в качестве представителя русской прессы он не только из конца в конец обрыскал свое отечество, но исколесил Европу и даже сделал несколько кругосветных путешествий. Его гений не знал меры и границ: в Америке на всемирной выставке он защищал интересы русской промышленности, в последнюю испанскую войну ездил к Дон-Карлосу с какими-то дипломатическими представлениями, в Англии «поднимал русский рубль», в Черногории являлся борцом за славянское дело, в Китае защищал русские интересы и т. д. Единственным плодом от этой кипучей деятельности остались только захватывающие воспоминания о том. что и как он, Перекрестов, ел в Яффе, в Сан-Франциско, в Шанхае, в Кадиксе, в Бостоне, в Каи-

ре, Биаррице, Ментоне, на острове Уайте и т. д. На Урал Перекрестов явился почти делегатом от горнопромышленных и биржевых тузов, чтобы «нащупать почву» и в течение двух недель «изучить русское горное дело», о котором он будет реферировать в разных ученых обществах, печатать трескучие фельетоны и входить с докладными записками в каждую официальную щель и в каждую промышленную дыру.

Среди этого сомнительного общества сомнительных людей Нина Леонтьевна являлась настоящим перлом. Небольшого роста, с расплывшимся бюстом, с короткими жирными руками и мясистым круглым лицом, она была безобразна, как ведьма, но в этом лице сохранились два голубых крошечных глаза, смотревших насквозь умным, веселым взглядом, и характерная саркастическая улыбка, открывавшая два ряда фальшивых зубов. В каком-то невозможном голубом платье, с огненными и оранжевыми бантами, она походила на аляповатую детскую игрушку, которой только для проформы проковыряли иголкой глаза и рот, а руки и все остальное наби-

ли наклей.

— Послушай, Нина, сейчас Прейн передал мне, что Раиса Павловна хочет сказаться больной, — говорил нерешительно генерал, покручивая усы. — Это выйдет очень неловко... Горемыкина — хозяйка в этом доме, и не пригласить ее просто неделикатно.

— Ты ошибаешься, — с тонкой улыбкой ответила Нина Леонтьевна, — предоставь это, пожалуйста, мне... Необходимо сразу показать ей, где ее настоящее место. К чему разводить эти никому не нужные нежности? Я такая же хозяйка здесь, и ты можешь выбирать между мной и ей...

— Ты забываешь, Нина, как к этому отнесется Прейн.

— О, это не ваша забота, Мирон Геннадич... Не лучше ли вам позаботиться о том, что Евгению Константиновичу пора показаться к народу, который просто неистовствует на улице.

Действительно, под окнами господского дома время от времени точно закипала волна буруна, и в воздухе дыбом поднимался тысячеголосый крик. Генерал только пожал пле-

чами и направился в уборную. Теперь в приемных комнатах оставалась только приехавшая с Лаптевым челядь да избранники в лице заводских управителей. Вершинин, Майзель, Буйко, Дымцевич, Сарматов, доктор Кормилицын, Платон Васильевич и еще несколько человек заслуженных стариков сбились в одну плотную кучу и терпеливо выжидали, когда наконец покажется Евгений Константиныч. «Малый двор» чувствовал себя не совсем хорошо пред лицом «большого двора», хотя Прейн успел со всеми поздороваться и всякому сказать бойкое приветливое слово. Генерал пока познакомился только с Платоном Васильичем и Майзелем, он не обладал счастливым даром скоро сходиться с людьми.

Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, он вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной под гребенку. Горемыкин был во фраке и постоянно поправлял свой белый галстук, который все сбивался у него на сторону.

— Жаль, очень жаль... — говорил генерал, посматривая на двери уборной. — А какой

был талантливый человек! Вы думаете, что его уже невозможно спасти?

— Трудно, ваше превосходительство...

— Так, так... Необходимо будет увезти его отсюда, — вслух думал генерал. — У него, кажется, была дочь, если не ошибаюсь?

— Да, теперь совсем взрослая девушка... и очень красивая. Виталий Кузьмич вообще ведет странный образ жизни и едва ли удержится на каком-нибудь другом месте.

Родион Антоныч, не теряя из виду управительского кружка, зорко следил за всеми, особенно за Братковским, который все время сидел в комнате, где была Нина Леонтьевна, и только иногда показывался в зале, чтобы быть на виду у генерала на всякий случай. «Тонкая бестия эта шляхта, — думал про себя Родион Аптопыч, утирая вспотевшее лицо платком и со страхом поглядывая на сердитого генерала. — Ох, всех подтянет, всех... Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!..» Когда генерал поворачивался в сторону Родиона Антоныча, он слегка наклонялся вперед и начинал улыбаться блудливой, жалкой улыбкой. Но главное внимание Родиона Ан-

тоныча было занято улицей, где гудела десятитысячная толпа и время от времени нестройными вспышками поднималось «ура»; он постоянно подбегал к окошку и зорко вглядывался в море голов, отыскивая кого-то глазами. Швейцару и лесообъездчикам строго-настрого было заказано не пускать близко к подъезду всяких «сумнительиых» мужиков, которые могли принести за пазухой какую-нибудь «бумагу к барину», но все-таки осторожность не была лишней. Рабье сердце Родиона Антоныча было теперь преисполнено блаженным трепетом: барин был в двух шагах — он сейчас выйдет. У верного слуги даже щипало в горле от неиспытанного счастья лицезреть барина, который в течение двадцати лет являлся каким-то полумифическим существом.

Ожидание продолжалось уже целый час, а барин все не показывался. Прейн несколько раз наведывался в его комнату и успел уже переодеться два раза. Генералу тоже надоело ждать, и он тоже отправился в уборную, где и застал такую картину. Чарльз, вытянутый и важный, почтительно стоял у дверей, а сам

Лаптев заставлял великолепного бланжевого пойнтера Брунгильду подавать поноску. Умная собака, стоившая несколько тысяч, сходила за брошенным платком раз десять, а затем, видимо, смутилась и, помахивая тонким хвостом, вопросительным умным взглядом смотрела на m-r Чарльза.

— Господи, что же это такое? — взмолился генерал, останавливаясь перед Лаптевым. — Евгений Константиныч! вас ждут целый час тысячи людей, а вы возитесь здесь с собакой! Это... это... Одним словом, я решительно не понимаю вас.

— Посмотрите, генерал, какая упрямая эта Брунгильда, — весело ответил Лаптев, — а я еще упрямее и непременно заставлю ее сделать по-своему. Вы сами увидите... Brunehaut, apporte!..[65]

Глава 13

Когда Родион Антоныч сообщил о болезни Раисы Павловны, Прейн только поднял высоко брови и равнодушно проговорил:

— Ага!

— Она извиняется, что не может выйти к обеду, — продолжал Родион Антоныч, склоняя голову на один бок.

— Ага!

— Раиса Павловна просила передать свои извинения Евгению Константинычу.

— Ага!

У бедного Ришелье защемило на душе от этого «ага», которое черт его знает что значило.

За обедом о Раисе Павловне тоже не было сказано ни одного слова, хотя за столом сидели битых два часа, вплоть до самого вечера. Это был своего рода первый застольный турнир между малым и большим двором, на котором противники могли помериться силами. «Большой двор», конечно, подавлял «малый» своими исключительными преимуществами, хотя все по возможности старались

держать себя на равной ноге. Евгений Константиныч говорил мало и преимущественно обращался к Нине Леонтьевне, которая, видимо, пользовалась его особенным вниманием. Кроме других лакеев, за столом прислуживал и m-r Чарльз, который подавал кушанье только своему патрону, Прейну, генералу, Нине Леонтьевне и Платону Васильевичу. Последний все время сидел как на иголках: у бедного ходили круги в глазах при одной мысли о том, что его ждет вечером у семейного очага. Нина Леонтьевна в качестве хозяйки старалась поддержать самый непринужденный разговор, что ей было не особенно трудно сделать при трогательных усилиях всех действующих лиц. Перекрестов рассказывал о всевозможной еде, какую он испробовал во всевозможных широтах и долготах, при самом разнообразном барометрическом давлении и всевозможных уклонениях магнитной стрелки. Сарматов, конечно, воспользовался таким удобным случаем и довольно развязно присоединил к этому повествованию свой скромный голос.

— Когда я служил с артиллерийским пар-

ком на Кавказе, — рассказывал он, стараясь закрыть свою лысину протянутым из-за уха локоном, — вот где было раздолье... Представьте себе: фазаны! Настоящие золотые фазаны, все равно как у нас курицы. Только там их едят не так, как у нас. Вообще записной охотник не дотронется до свежей дичи, а мы убитых фазанов оставляли на целую неделю на воздухе, а потом уж готовили... Получался необыкновенный букет!

— Ага! — протянул Прейн.

— Не много ли будет: неделя? — заметил Вершинин. — Температура на Кавказе высокая, и в неделю из ваших фазанов останутся одни перья.

— Ах, Демид Львович... В этом-то и шик! Мясо совсем черное делается и такой букет... Точно так же с кабанами. Убьешь кабана, не тащить же его с собой: вырежешь язык, а остальное бросишь. Зато какой язык... Мне случалось в день убивать по дюжине кабанов. Меня даже там прозвали «грозой кабанов». Спросите у кого угодно из старых кавказцев. Раз на охоте с графом Воронцовым я одним выстрелом положил двух матерых ка-

банов, которыми целую роту солдат кормили две недели.

Бесстрастное неподвижное лицо Лаптева обратилось к рассказчику, и на нем мелькнула едва заметная улыбка. Наклонившись к Прейну, он тихо спросил:

— Это кто?

— Штабс-капитан Сарматов, управитель Мельковского завода.

Этого было достаточно, чтобы до десятка лиц с скрытой завистью посмотрели на Сарматова, который был замечен Евгением Константинычем. Это была целая карьера для «грозы кабанов». Летучий и Перекрестов переглянулись и блудливо заерзали на своих местах; неожиданный успех Сарматова задел их за живое. Бесцветные люди навели свои лорнеты и пенсне на «грозу кабанов». Прейн еще раз сказал свое «ага». Нина Леонтьевна потихоньку наблюдала представителей «малого двора» и особенно осталась довольна Вершининым и Майзелем, которые держали себя с достоинством и отвечали очень находчиво. Вершинин настолько освоился с «большим двором», что раза два очень ядовито обо-

рвал завравшегося Перекрестова, которого невзлюбил с первого раза, как соперника по застольному краснобайству. Между строк скоро выработалось то молчаливое соглашение, при помощи которого определяются взаимные отношения людей, видевших друг друга в первый раз. Генерал пытался было поднять серьезный разговор на тему о причинах общего упадка заводского дела в России, и Платон Васильевич навострил уже уши, чтобы не пропустить ни одного слова, но эта тема осталась гласом вопиющего в пустыне и незаметно перешла к более игривым сюжетам, находившимся в специальном заведовании Летучего. Нина Леонтьевна нимало не смутилась таким оборотом разговора и громко смеялась над остроумными анекдотами прогоревшего помпадура. Один m-r Чарльз оставался в этой компании невозмутимо спокойным и неподвижным, точно замороженный. Он смотрел на обедающих свысока, как сфинкс, которого никто не может разгадать. По всей вероятности, если бы m-r Чарльз имел право и возможность, он всей собравшейся здесь компании молча и заморожено показал бы на дверь.

После обеда, когда вся компания сидела за стаканами вина, разговор принял настолько непринужденный характер, что даже Нина Леонтьевна сочла за лучшее удалиться восвояси. Лаптев пил много, но не пьянел, а только поправлял спои волнистые белокурые волосы. Когда Сарматов соврал какой-то очень пикантный и невозможный анекдот из бессарабской жизни, Лаптев опять спросил у Прейна, что это за человек.

— Ага! Это штабс-капитан Сарматов, или «гроза кабанов»! — ответил Прейн, щуря свои бесцветные глаза.

Бесцветные молодые люди смеялись, когда смеялся Лаптев, смотрели в ту сторону, куда он смотрел, пили, когда он пил и вообще служили громадным зеркалом, в котором отражалось малейшее движение их патрона.

Из-за обеда вся компания поднялась вместе с сумерками, когда в открытые окна со стороны сада потянуло свежей пахучей струей. Господский дом, здание заводоуправления, фабрика и сад были роскошно иллюминованы, а на пруду, на громадном плоте из бревен, затрещал и захлопал фейерверк. Для

гудевшего на улице народа на балконе господского дома играла музыка, и ночной воздух при каждом хлопке взвивавшихся кверху огненными дугами ракет потрясался взрывами народного восторга. Появлялись пьяные и особенно усердно орали барину хриплую пьяную «уру». Евгений Константиныч выходил на балкон, и каждый раз его встречали оглушительными залпами самых восторженных криков. Генерал задумчиво смотрел на волновавшуюся тысячеголовую толпу, которая в его глазах являлась собранием тех пудо-футов, которые служили материалом для его экономических выкладок и соображений.

Все это трескучее торжество отзывалось на половине Раисы Павловны похоронными звуками. Сама она, одетая в белый пеньюар с бесчисленными прошивками, лежала на кушетке с таким истомленным видом, точно только сейчас перенесла самую жестокую операцию и еще не успела хорошенько проснуться после хлороформирования. «Галки» сидели тут же и тревожно прислушивались к доносившимся с улицы крикам, звукам музыки и треску ракет.

Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Раиаа Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести Евгения Константиныча по фабрикам, на медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.

Летняя короткая ночь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю. Домики Кукарского завода на этой руке сделались бы не больше тех пылинок, которые остаются у нас на пальцах от крыльев моли, а вместе с ними погибли бы и обитатели этих жалких лачуг, удрученные непосильной ношей своих подлостей, интриг, глупости и чисто животного эгоизма.

Посмотрите, как крестится и шепчет торопливо молитву на сон грядущий Родион Антоныч; в голове кукарского Ришелье работает тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления тревожного дня. У Родиона Антоныча тяжело на душе, а в ушах все еще отдается «ага» Прейна. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы ухватиться придавленный неудачей мозг. Он теперь переживает в сотый раз нанесенное оскорбление Раисе Павловне и не видит выхода. Стоит ему сомкнуть глаза, как встает целый ряд обидных картин: вот торжествует Майзель с своей птицей — Амалькой, вот улыбается в бороду Вершинин, вот ликует Тетюев...

В генеральском флигельке наступившая ночь не принесла с собой покоя, потому что Нина Леонтьевна недовольна поведением генерала, который, если бы не она, наверно позволил бы Раисе Павловне разыгрывать совсем неподходящую ей роль. В своей ночной

кофточке «чугунная болванка» убийственно походит на затасканную замшевую куклу, но генерал боится этой куклы и боится сказать, о чем он теперь думает. А думает он о своем погибающем друге Прозорове, которого любил по студенческим воспоминаниям.

— Посмотрим, как вы будете держать себя дальше... — грозно шипит «чугунная болванка». — С своей стороны могу сказать только то, что при первой вашей уступке *этой* женщине я сейчас же уезжаю в Петербург.

Генерал уверяет, что никаких уступок не последует с его стороны и что он должен честно выполнить взятую на себя задачу.

В убогом флигельке Прозорова мигает слабый свет, который смотрится в густой тени тополей и черемух яркой точкой. Сам Прозоров лежит на прорванном диване с папироской в зубах. Около него на стуле недопитая бутылка с водкой, пепельница с окурками, рюмка с обломанным донышком и огрызки соленого огурца.

— Набоб приехал... Ха-ха! — смеется он своим нехорошим смехом, откидывая волосы. — Народный восторг и общее виляние хвостов.

О почтеннейшие подлецы с Мироном Блиновым во главе! Неужели еще не выросла та осина, на которой всех вас следует перевешать... Комедия из комедий и всероссийское позорище. Доколе, о господи, ты будешь терпеть сих подлецов?.. А царица Раиса здорово струхнула, даже до седьмого пота. Ха-ха!

Луша слышит эту болтовню, и ей делается страшно в своей комнате, где она напрасно старается углубиться в чтение романа, который ей принес на днях Яшка Кормилицын. Ей душно и тяжело. Эти стены ее давят. Хочется воли, простора, воздуха, чтобы хоть раз вздохнуть полной грудью, вздохнуть и... а там будет что будет! Она унесла в своей головке частичку той суеты, свидетельницей которой была давеча. У ней еще стоят в ушах крики тысячной толпы, волны музыки, и она все еще видит этот разноцветный дождь, который рассыпался над ней во время фейерверка. Она видит обрюзглого молодого человека, который смотрел на нее давеча из коляски, видит его волнистые белокурые волосы и переживает тяжелое, томительное чувство странной зависти за свое существование. От-

чего она не была на этом обеде, где весело играла музыка, слышался смех и лилось дорогое вино? Воображение рисовало ей заманчивую картину: как она является царицей таких обедов, как все удивляются ее красоте и как все преклоняется пред ней, даже этот белокурый молодой человек с усталыми глазами. Сегодня подушка ей кажется особенно тяжелой, а роман Яшки Кормилицына скучнее его самого. Воздуха! воздуха!

А в спальне Лаптева происходит в это время такая сцена. Евгений Константиныч сидит с папиросой в зубах и задумчиво смотрит в пространство.

— Альфред! ты видел этого молодого человека?.. — говорит он, обращаясь к Прейну, который маленькими шажками бойко бегал по кабинету.

— Секретаря генерала... Братковского? Да. Он обедал с нами.

— Я и говорю об этом. Такие же глаза, такие же волосы и такая же цветущая сильная фигура... Он очень походит на свою сестру. Как ты находишь, Альфред?

— Ага... — неопределенно мычит Прейн,

вскидывая глаза на своего друга-повелителя. — Кажется… Гортензия Братковская… красавица?

— А что она теперь делает, по-твоему?

— Вероятно, где-нибудь на водах. Она собиралась ехать… Да, очень красивая и еще более упрямая девчонка. Знаете, что она имела в виду?

— ?

— Она мечтала быть madame Лаптевой.

Лаптев издает неопределенный носовой звук и улыбается. Прейн смотрит на него, прищурив глаза, и тоже улыбается. Его худощавое лицо принадлежало к типу тех редких лиц, которые отлично запоминаются, но которые трудно определить, потому что они постоянно меняются. Бесцветные глаза под стать лицу. Маленькая эспаньолка, точно приклеенная под тонкой нижней губой, имеет претензию на моложавость. Лицо кажется зеленоватым, изможденным, но крепкий красный затылок свидетельствует о большом запасе физической силы.

— Что мы будем здесь делать? — спрашивал Лаптев лениво.

— А генерал?

— Да-а...

— Потом необходимо съездить на другие заводы, побываем в горах, устроим охоту... Будет любительский спектакль и бал. Кстати, завтра будем осматривать завод, то есть собственно фабрику и рудник.

— А без этого нельзя обойтись, Альфред?

— Нет.

— А «гроза кабанов» будет завтра? Он смешно врет...

Лаптев лениво смеется, и если бы бесцветные «почти молодые люди» видели эту улыбку, они мучительно бы перевернулись в своих постелях, а Перекрестов написал бы целый фельетон на тему о значении случайных фаворитов в развитии русского горного дела.

Через полчаса, при помощи m-r Чарльза, Евгений Константинович отходит ко сну, напрасно стараясь решить, что теперь делает Гортензия Братковская. Ночь покрывает и этого магната-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч населения, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводский округ, покровительственная систе-

ма, генерал Блинов, во сне грезящий политико-экономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить в две недели русское горное дело, и десяток тех цепких рук, которые готовы вырвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развлечениях!

Глава 14

На другой день по приезде Лаптева, по составленному генералом маршруту, должен был последовать генеральный осмотр всего заводского действия.

Евгений Константиныч проснулся довольно поздно, когда на фабрике отдали свисток к послеобеденным работам. В приемных комнатах господского дома уже толклись с десяти часов утра все главные действующие лица. Платон Васильич с пяти часов утра не выходил с фабрики, где ждал «великого пришествия языков», как выразился Сарматов. Прейн сидел в спальне Раисы Павловны, ко-

торая, на правах больной, приняла его, не вставая с постели.

— Мне остается только поблагодарить вас за внимание... — говорила Раиса Павловна, запуская своему другу шпильку.

— Что же мне было делать, когда эта свинья сама залезла за стол! — оправдывался Прейн. — Не тащить же было ее за хвост... Вы, вероятно, слышали, каким влиянием теперь пользуется генерал на Евгения Константиныча.

— Но ведь тут маленькая разница: генерал или его метресса...

Прейн только поднял брови и развел руками.

— Что она такое, если разобрать... — продолжала Раиса Павловна волнуясь. — Даже если мы закроем глаза на ее отношения к генералу, что она такое сама по себе?

— Это черт, а не женщина — вот она что такое! — проговорил Прейн. — Представьте себе, она *нравится* Евгению Константинычу. Понятно, нравится не как женщина, а как остроумный и ядовитый человек.

— Я это знала раньше вас и могла только

удивляться, как вы могли допустить подобную вещь...

— Как Пилат, я могу умыть руки в этом деле с чистой совестью.

Раиса Павловна горько усмехнулась и с презрением посмотрела на Пилата.

— А в сущности, все это пустяки, моя дорогая, — заговорил торопливо Прейн, посматривая на часы. — Могу вас уверить, что вся эта история кончится ничем. Увлечение генералом соскочит с Евгения Константиныча так же скоро, как наскочило, а вместе с ним улетит и эта свинушка...

Надеждам и обещаниям Прейна Раиса Павловна давно знала настоящую цену и поэтому не обратила на его последние слова никакого внимания. Она была уверена, что если слетит с своего места по милости Тетюева, то и тогда Прейн только умоет руки во всей этой истории.

— Вы напейтесь кофе у меня, — предлагала Раиса Павловна, дергая сонетку.

— Мне, собственно, некогда... — завертелся Прейн, вынимая часы. — Евгений Константиныч проснулся и сейчас отправляется осмат-

ривать фабрики.

— Ничего, пусть подождет. У меня есть кое-что передать вам...

Пока Прейн пил чашку кофе с поджаренными сухариками, Раиса Павловна рассказала ему о происках Тетюева и компании, причем сделала предположение, что и поездка Лаптева на заводы, по всей вероятности, дело тетюевских рук. Прейн слушал ее внимательно, как доктор слушает рассказ пациента, и, прихлебывая из чашки кофе, после каждой паузы повторял свое неизменное «ага». Когда этот длинный рассказ был кончен, Прейн на минуту задумался и, повертев пальцем около лба, проговорил:

— Это для меня новость, хотя, собственно говоря, я и подозревал кое-что. Если это устроил Тетюев, то он замечательно ловкий человек, и чтобы разбить его, мы воспользуемся им же самим... Ха-ха!.. Это будет отлично... У меня есть свой план. Вот увидите.

— А я не могу узнать ваш план?

— Отчего же, с большим удовольствием! План самый простой: я постараюсь дать полный ход всем замыслам Тетюева, буду ему по-

могать во всем — вот и только.

Раиса Павловна онемела от изумления, а Прейн засмеялся своим неопределенным смехом.

— Я решительно ничего не понимаю... — проговорила она, стараясь угадать, не шутит ли Прейн. — Вы говорите серьезно?

— О, совершенно серьезно. Это будет замечательная комедия...

— Комедия, в которой дурой останусь я одна?

— Да нет же, говорят вам... Право, это отличный план. Теперь для меня все ясно, как день, и вы можете быть спокойны. Надеюсь, что я немножко знаю Евгения Константиныча, и если обещаю вам, то сдержу свое слово... Вот вам моя рука.

— Честное слово?

— Самое честное слово!.. Честное слово старого друга... Однако мне пора идти, меня ждут.

Поцеловав руку Раисы Павловны, Прейн быстро направился к двери, но вернулся с дороги и с улыбкой проговорил:

— А как насчет живности, моя дорогая?

Ведь это одни из самых капитальных вопросов, а то мы можем соскучиться...

— Какие вы глупости говорите, Прейн! — улыбнулась Раиса Павловна уже с сознанием своей силы. — Mademoiselle Эмма, которую вы, кажется, немного знаете, потом Аннинька!.. и будет! У меня не воспитательный дом.

— Это какая Аннинька? Не та ли самая, которая стояла с вами в окне, когда мы въезжали на ослах?

Раиса Павловна ничего не ответила, а только загадочно улыбнулась неисправимому старому грешнику.

В это время прибежал лакей, разыскивавший Прейна по всему дому, и интересный разговор остался недоконченным. Евгений Константиныч кушали свой утренний кофе и уже два раза спрашивали Альфреда Осипыча. Прейн нашел своего повелителя в столовой, где он за стаканом кофе слушал беседу генерала на тему о причинах упадка русского горного дела.

— Насколько я успел познакомиться с горнозаводской промышленностью в Швеции... — перебивал несколько раз Перекре-

стов, седлая свой нос пенсне, но генерал не обращал на него внимания.

Летучий сидел уже с осовелыми, слипавшимися глазами и смотрел кругом с философским спокойствием, потому что его роль была за обеденным столом, а не за кофе. «Почти молодые» приличные люди сделали серьезные лица и упорно смотрели прямо в рот генералу и, по-видимому, вполне разделяли его взгляды на причины упадка русского горного дела.

— Где это ты пропадал? — спросил лениво Лаптев, когда Прейн занял свое место за столом.

— Делал маленький моцион по саду, — соврал Прейн, не моргнув глазом. — Мы сейчас отправляемся в завод, генерал?

— Да, — коротко отвечал генерал.

Вершинин и Майзель сидели с самыми благочестивыми лицами, как те праведники, для которых разгневанный бог мог пощадить целый город грешников. Они тоже намерены были сопровождать своего повелителя по тернистому пути. Сарматов вполголоса рассказывал Летучему какой-то, вероятно, очень скоромный анекдот, потому что сановник мор-

щил свой тонкий орлиный нос и улыбался плотоядной улыбкой, открывавшей гнилые зубы.

До фабрики от господского дома было рукой подать, и Прейн предложил идти пешком, тем более что день был великолепный, хотя немного и жаркий. Когда вся компания вышла к подъезду, к ней присоединился Родион Антоныч, стерегший здесь свою позицию, чтобы кто не угостил барина проклятой «бумагой». Но ходоки от сельского общества были прогнаны казаками, и вся компания благополучно проследовала до ворот фабрики, где уже ждал Платон Васильич, взволнованный и бледный, с крупными каплями пота на лице. Фабричные корпуса и всевозможные печи выглядели сегодня по-праздничному, как и попадавшиеся рабочие и мелкие служащие. Все было на своем месте и при своем деле. Уставщики и надзиратели вытягивались в струнку, рабочие встречали барина без шапок. Даже вычищенные и смазанные машины, кажется, были готовы приветливо улыбнуться, если бы в них было устроено подходящее для такой цели колесо или вал.

— Вот мы и посмотрим все у вас, Платон Васильич, — тараторил Прейн, забегая вперед и весело здороваясь с рабочими. — Тут у меня много старых знакомых... Кум Елизарыч, Вавило да Гаврило, Спиридон...

Кум Елизарыч, осанистый, седой, плотный, с окладистой бородой старик, скоро был представлен вниманию Евгения Константиныча, который сказал ему несколько милостивых слов и спросил, сколько ему лет.

— Семьдесят, Евгений Константиныч! — ответил бодрый старик, перекладывая свое правило из руки в руку.

— А сколько лет служишь в заводе, кум Елизарыч? — допрашивал Прейн, похлопывая старика по плечу.

— Лет с шестьдесят наберется, Альфред Осипыч.

Кум Елизарыч был отчаянный плут и обдирал рабочих на каждом шагу, но, глядя на это старческое, открытое и убеленное благообразной сединой лицо, можно было умилиться. У Родиона Антоныча с кумом Елизарычем были вечные дела, и они не оставались в накладе от взаимных услуг. Вавило и

Гаврило были знаменитые катальные мастера, бросавшие двенадцатипудовую рельсовую болванку на катальной машине с вала на вал, как игрушку; Спиридон, первый силач, работал у обжимочного молота. Рабочие любили Прейна, который умел обращаться с ними. В свои побывки на заводы он часто приглашал лучших мастеров к себе и пил с ними чай, не отказывался крестить у них ребят и задавал широкие праздники, на которых сам пил водку и любил слушать мужицкие песни. Конечно, это было немного, но этого немногого было совершенно достаточно, чтобы Прейна, никогда не сделавшего никакого добра рабочим, все любили, а молчаливого и бесцветного Платона Васильича, по-своему хорошо относившегося к рабочим и делавшего для них все, что от него зависело, не только не уважали, но готовы были ему устроить всякую пакость.

— Ведите нас в катальную фабрику, — предложил Прейн затруднившемуся, с чего начать, Платону Васильичу; он заметил уже, что Евгений Константиныч морщится и бредет по заводу только из приличия.

Собственно завод занимал широкую квадратную площадь, ограниченную с одной стороны плотиной, а с трех остальных — длинными зданиями фабричной конторы, механической, амбарами и высокой каменной стеной. По самой средине пробегала пенившаяся Кукарка. На площади там и сям валялись кучки песку, свежего доменного шлака, громадные горновые камни и полузаросшие свежей зеленой травкой сломанные чугунные шестерни и катальные валы, походившие издали на крепостные пушки. В дальнем углу виднелось несколько дровосушных печей, около которых, среди беспорядочно наваленных дровяных куч, пестрела голосистая толпа поденщиц-дровосушек; эта чумазая и покрытая сажей толпа с жадным любопытством провожала глазами барина, который прошел прямо в катальную. Визг и звонкий девичий смех как-то не вязался с этой суровой обстановкой дымивших доменных печей и подавленного грохота катальных машин, являясь каким-то диссонансом в этом царстве огня и железа. На дороге попалось несколько рабочих, очевидно только что кончивших свою смену. Рас-

стегнутые вороты пестрядевых рубах, сожженные, покрытые потом лица, бессильно опущенные с напружившимися жилами руки, усталая походка — все говорило о том, что они сейчас только вышли из огненной работы. У входа в катальную их встретил рабочий с зажженным пуком березовой лучины. На первый раз трудно было что-нибудь разглядеть в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, обжимочный молот в одном углу, темные стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями, в которые весело глядело летнее голубое небо и косыми пыльными полосами врывались солнечные лучи. В глубине корпуса около низких печей, испускавших сквозь маленькие окошечки ослепительный свет, каким светит только добела накаленное железо, быстро двигались и мелькали фигуры рабочих; на всех были надеты кожаные передники — «защитки», на головах войлочные шляпы, а на ногах мягкие пеньковые пряденики. Со стороны водяного ларя тянула холодная струя сквозного воздуха; где-то глухо капала вода и с подавленным

визгом вертелось колесо, заставляя вздрагивать даже чугунные плиты, которыми была вымощена вся фабрика.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — проговорил Платон Васильич, когда по фабрике пронесся пронзительный свист.

Старик уставщик, сняв шапку, ждал у катальной машины.

— Пустите машину! — приказал Горемыкин.

Где-то глухо загудела вода, и за стеной грузно повернулось водяное колесо. Вся фабрика вздрогнула, и стальные валы катальной машины завертелись с неприятным лязгом и взвизгиванием. Сначала еще можно было различить их движения, а потом все слилось в одну мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, которое невольно заставляло думать, что вот-вот, еще несколько поворотов водяного колеса — и вся эта масса вертящегося чугуна, железа и стали разлетится вдребезги. В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую мину-

ту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую железную тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью; Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве огня и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными

людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости.

Перекрестов вытащил из бокового кармана записную книжечку и что-то царапал в ней, по временам вскидывая глазами на Вавилу и Гаврилу.

— Этакие медведи! — восхищался кто-то.

После катальной посмотрели на Спиридона, который у обжимочного молота побрасывал сырую крицу, сыпавшую дождем горевших искр, как бабы катают хлебы. Тоже настоящий медведь, и длинные руки походили на железные клещи, так что трудно было разобрать, где в Спиридоне кончался человек и начиналось железо.

— Молодец! — похвалил Прейн своего фаворита.

— Теперь пойдемте смотреть новый маховик, — предложил Горемыкин, когда совсем готовый рельс был сброшен с машины на пол.

Маховик помещался в новом деревянном корпусе. Молодой машинист в запачканной блузе, нагнувшись через перила, наливал из

жестяной лейки масло в медную подушку маховика, который еще продолжал двигаться, поднимая ветер. Уставщик распорядился пустить воду, чтобы показать во всей красоте работу этого чудовища в тысячу пудов. Эффект вышел действительно поразительный, и Горемыкин смотрел на это чугунное детище глазами счастливого отца. Лаптев не мог разделять этого чувства и наблюдал вертевшееся колесо своими усталыми глазами с полнейшим равнодушием.

После рельсовой фабрики были осмотрены кирпичные горны и молоты, пудлинговые печи, печи Мартена, или Мартына, как их окрестили рабочие; затем следовал целый ряд еще новых печей: сберегающая топливо регенеративная печь Сименса, сварочные, литейные, отражательные, калильные и т. д. Осмотрены были водяные турбины, которые приводили в движение воздуходувные меха, пять паровых машин, механический корпус, где работали вертикальные и горизонтальные токарные станки, строившийся паровой молот и даже склады чугуна в штыках и припасах, железо во всевозможных видах: широкополосное,

брусковое, шинное, листовое и т. д. Но Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы. Только под доменной печью, где нарочно для него был сделан выпуск, он долго и внимательно следил за выплывавшей из отверстия печи огненной массой расплавленного чугуна, которая красными ручейками расходилась по чугунным и вырытым в песке формам, время от времени, когда на пути попадалось сырое место или какая-нибудь щепочка, вскидывая кверху сноп ослепительно ярких искр.

— Да, красиво... — проговорил он точно про себя, тыкая горячий шлак тросточкой. — Теперь, кажется, все? — обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему главному управляющему.

— Нет, еще не все, — отозвался Прейн. — Мы сейчас едем на Медный рудник и спустимся в шахту.

Генерал был того же мнения, но Лаптев протестовал против такого решения и повер-

нул к выходу, а за ним повернули и все остальные соглядатаи и приспешники. Они все время лезли из кожи, чтобы выказать свое внимание к русскому горному делу: таращили глаза на машины, ощупывали руками колеса, лазили с опасностью жизни везде, где только может пролезть человек, и даже нюхали ворвань, которой были смазаны машины. Генерал ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу.

— Домой! — проговорил Лаптев, торопливо направляясь к выходу.

— Ага! — ответил Прейн.

Сотни любопытных глаз следили все время, как барин осматривал фабрики, и можно было подумать, что все стены и щели имели глаза.

Глава 15

Барин приехал. Что это был за человек — едва ли кто на Кукарских заводах знал хорошенько, хотя барину было уже за тридцать лет. На своих заводах Лаптев всего был раз, десятилетним мальчиком, когда он приезжал в Россию из-за границы, где родился, получил воспитание и жил до последнего времени. Впрочем, вся восходящая линия Лаптевых вела точно такой же образ жизни, появляясь в России наездом. Исключение представляли только первые представители этой семьи, которые основывали заводы и жили в них безвыездно. Это была крепкая мужицкая семья настоящих «расейских» лапотников: первым в родословном дереве заводовладельцев считался Гордей, по прозванию Лапоть.

Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип, собственно, только два поколения — сам Гордей и его

сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством. В Париже, Вене, Италии были понастроены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они и коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков. Здесь они родились, получали воспитание и женились на аристократических выродках или знаменитостях сцены и demi-monde'a[66], пускали семя и в крайнем случае возвращались на родину только умереть. Некоторые из представителей этой фамилии не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски; единственным основанием фигурировать в качестве «русских принцев» были те крепостные рубли, которые текли с Урала на веселую далекую заграницу неиссякаемой широкой волной. Эти мужицкие выродки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных бо-

гатств. Были тут жуиры и прожигатели жизни pur sang[67], были меломаны, были чудаки по профессии, были меценатствующие «вельможи», антикварии, библиоманы и просто шалопаи. Единственная вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро «раскланиваться с здешним миром», как говорят китайцы о смерти. За последние полтораста лет средняя цифра жизни этих магнатов не превышала сорока лет. Но и этого периода было совершенно достаточно, чтобы около каждого из Лаптевых выросла своя собственная баснословная легенда, где бессмысленная роскошь азиатского пошиба рука об руку шла с грандиозным российским самодурством, которое с легким сердцем перешагивало через сотни тысяч в миллионы рублей, добытые где-то там, на каком-то Урале, десятком тысяч крепостных рук... Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги фамилии Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе евро-

пейских и всесветных безобразников.

Последний из Лаптевых — Евгений Константиныч — был замечателен тем, что к нему никак нельзя было примениться. Даже такие люди, как Прейн, у которого на руках вырос маленький «русский принц» — и тот не знал хорошенько, что это был за человек. Вероятно, в часы раздумья, если они только находили на него, Евгений Константиныч сам удивлялся самому себе, так все в его жизни было перепутано, непонятно и непредвидимо. Когда еще он был бойким, красивым мальчиком, приспешники и приживальцы возлагали на него большие надежды, как на талантливого и способного ребенка; воспитание он, конечно, получил в Париже, под руководством разных светил педагогического мира, от которых, впрочем, не получил ничего, кроме органического отвращения ко всякому труду и в особенности к труду умственному. Юношей он прошел школу всех молодых набобов и в двадцать лет выглядел усталым, пресыщенным человеком, который собственным опытом убедился в «суете сует и всяческой суете» нашей общей юдоли плача. Но

ведь каждый человек вносит с собой хоть какую-нибудь микроскопическую особенность, по которой его можно было бы отличить от других людей. Такой особенностью Евгения Константиныча служила уже упомянутая нами взбалмошность: никто не мог поручиться за его завтрашний день. По природе он не был ни зол, ни глуп, но отчасти воспитание, отчасти обстановка, отчасти грехи предков сделали из него капризного ребенка с отшибленной волей. Единственное, что еще он любил и мог любить, — это была еда и, между прочим, женщины, как острая приправа к другим мудреным кушаньям.

Поездка и даже окончательное переселение в Россию у Евгения Константиныча случились как-то вдруг, почти само собой, когда его обругала какая-то бульварная парижская газетка. Дворцы и палаццо, рассованные по разным укромным уголкам Европы, пошли с молотка вместе с фамильными редкостями, из которых можно было бы составить великолепный музей для назидания благодарного потомства. В числе распроданных редкостей, попавших в руки барышников и ростовщи-

ков, находились такие замысловатые вещицы, как сахарница в пятнадцать тысяч франков, охотничья лядунка в двадцать тысяч, экран к камину в сорок и т. д.

Поселившись в России, которая для Лаптева заключалась в Петербурге, он неожиданно для всех задумал поездку на Урал.

«Большой двор», группировавшийся около заводовладельца, во главе имел всесильного Прейна, который из всех других достоинств обладал ничем незаменимым качеством — никогда не быть скучным. Кто он такой был сам по себе — трудно сказать, если только Прейн сам знал свою родословную. Впрочем, он никогда не чувствовал особенного пристрастия к историческим и генеалогическим изысканиям, вполне удовлетворяясь настоящим. Достаточно сказать, что у Лаптевых он был с детства своим человеком и забрал великую силу, когда бразды правления перешли в собственные руки Евгения Константиныча, который боялся всяких занятий, как огня, и все передал Прейну, не спрашивая никаких отчетов. Таким образом и руках Прейна сосредоточивались за последние двадцать лет

все нити и пружины сложного заводского хозяйства, хотя он тоже не любил себя обременять усиленными занятиями. В качестве главноуполномоченного от заводовладельца Прейн года через три приезжал на заводы, проводил здесь лето и уезжал за границу. Он пользовался хорошей репутацией у служащих и у рабочих, хотя ни те, ни другие не видели от него большой пользы. Секрет заключался в том, что Прейн умел всех хорошо и ласково принять и наобещать гору. Заводские остряки по этому поводу говорили, что Прейна можно даже послать в лапочку за папиросами. Но вместе с тем податливый на обещания, Прейн с дьявольской ловкостью умел отвернуться от их исполнения, и поймать его в этом случае было крайне трудно. Каким был Прейн при крепостном праве, таким остался и после воли. Враги называли его глупым, друзья считали умным. Во всяком случае, положительного зла он не делал никому, хотя смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не заметил он». Время на заводах Прейн обыкновенно проводил на охоте. Вообще люди, близко знавшие Прейна,

могли про него сказать очень немного, как о человеке, который не любил скучать, мог наобещать сделать вас завтра бухарским эмиром, любил с чаем есть поджаренные в масле сухарики, всему на свете предпочитал дамское общество... и только. Ко всевозможным переменам и пертурбациям в составе большого и малого дворов Прейн относился почти индифферентно, и его жизнь катилась вольно и широко, как плохая сама по себе, по дружно разыгранная на сцене пьеса.

Само собой разумеется, что в жизни «большого двора» Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда в стороне от всяких происков и интриг. После него в состав «большого двора» входили служащие главной петербургской конторы, как стоявшие ближе других к особе заводовладельца, этому источнику заводского света: управляющий конторой, заведующий счетной частью и т. д. Далее, в состав «большого двора» в качестве «случайных» попадали всевозможные люди, удовлетворявшие минутным прихотям Лаптева и умевшие угодить его капризам. Это был странный

сброд, вроде сановника не у дел Летучего, корреспондента Перекрестова и т. д. Под эту же рубрику подходили разные женщины, умевшие на время удержаться на покатой плоскости прихотливой барской натуры, как танцовщица Братковская и другие дамы и полудевицы этого разбора. Такие дельцы, как Раиса Павловна или Нина Леонтьевна, в силу своих физических особенностей уже не могли иметь прямого значения, а должны были довольствоваться тем, что выпадало на их долю из-за чужой спины.

Неожиданно для всех воссиявшая звезда генерала Блинова представляла собой в жизни большого и малого двора такое исключение, которое составляло неразрешимую задачу для большинства. Подозревали, что генерал был *создан* совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны, жаждавшими вкусить от заводского пирога и спровадить Раису Павловну. Вообще вся интрига была задумана и приведена в исполнение с дьявольской ловкостью. Сам генерал, во всяком случае, не был виноват ни душой, ни телом в той роли, какую ему пришлось разыгрывать. Между тем

все дело, как и многое другое на свете, объяснялось очень просто: Тетюев воспользовался теми недоразумениями, которые возникали между заводоуправлением и мастеровыми по поводу уставной грамоты, тиснул несколько горячих статеек в газетах по этому поводу против заводов, и когда Лаптев должен был узнать наконец об этом деле, он ловко подсунул ему генерала Блинова как ученого экономиста и финансовую голову, который может все устроить. Лаптев схватился за брошенную ему приманку и сейчас же решил ехать на Урал с генералом сам. Истинные свои цели Тетюев, конечно, скрыл от доверчивого генерала с большим искусством, надеясь постепенно воспользоваться им. Генерал с своей стороны очень горячо и добросовестно отнесся к своей задаче и еще в Петербурге постарался изучить все дело, чтобы оправдать возложенные на него полномочия, хотя не мог понять очень многого, что надеялся пополнить уже на самом месте действия.

На третий день своего приезда в Кукарский завод генерал через своего секретаря пригласил к себе Прозорова, который и за-

явился к однокашнику в том виде, в каком был, то есть сильно навеселе.

— Давненько мы с тобой не видались, Виталий Кузьмич... — говорил генерал, обнимая Прозорова.

— Да... давненько, ваше превосходительство... — ядовито отвечал Прозоров, оглядывая сановитую, представительную фигуру бывшего однокашника.

— Ты остался такой же занозой, каким был раньше, — ответил генерал на эту колкость. — Я надеюсь, что мое превосходительство нисколько не касается именно тебя: мы старые друзья и можем обойтись без чинов...

— Прикажете называть Мироном Геннадьичем?

— Я вообще не люблю приказывать кому-нибудь, а тебе в особенности... Перестань разыгрывать комедию, душа моя. Этакая у тебя дьявольская привычка!..

— Полюбите нас черненькими, Мирон Геннадьич...

Генерал пожал плечами и зашагал по кабинету. Он любил Прозорова, но теперь перед ним была только тень прежнего товарища.

Обоим было одинаково тяжело. Генерал хотел выйти из затруднительного положения старым дружеским тоном, Прозоров — дерзостями.

— А я так рад был видеть тебя, — заговорил генерал после длинной паузы. — Кроме того, я надеялся кое-что разузнать от тебя о том деле, по которому приехал сюда, то есть я не хочу во имя нашей дружбы сделать из тебя шпиона, а просто... ну, одним словом, будем вместе работать. Я взялся за дело и должен выполнить его добросовестно. Если хочешь, я продался Лаптеву, как рабочий, но не продавал ому своих убеждений.

В коротких словах генерал передал Прозорову значение своей миссии и те цели, которых желательно было достигнуть; причем он не скрыл, что его смущает и в чем он нуждается.

— Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу, — продолжал свою мысль генерал. — Я не желаю мирволить ни владельцу, ни рабочим и представить только все дело в его на-

стоящем виде. Там пусть делают, как знают. Из своей роли не выходить — это мое правило. Теория — одно, практика — другое.

Прозоров все время осматривал кабинет генерала, напрасно отыскивая в нем что-то, что ему было нужно, и наконец проговорил:

— Вот что, Мирон Геннадич, прикажите-ка подать водочки... Тогда поговорим о разных разностях.

Генерал поморщился, но позвонил и велел лакею подать водки. Эта неделикатная выходка Прозорова задела его за живое, но он еще раз сдержал себя и заговорил размеренно-спокойным тоном, как говорил на кафедре:

— Я — поклонник Кэри и отчасти Мальтуса... Не будем говорить о тех абсурдах, которые стараются вывести из их систем, но возьмем только самую сущность. Нам приходится иметь дело именно с ними, когда вопрос зайдет, с одной стороны, о покровительственной системе, и второе — когда мы коснемся рабочего вопроса. Да... важно иметь определенную, строго выработанную систему, от этого зависит все. По моему мнению, даже известные ошибки, как необходимая дань всякого

практического применения теорий, могут иметь оправдание только в том единственном случае, если они явились как результат строго проведенной общей идеи.

После этого вступления генерал очень подробно развил основания своей собственной системы. «Кульминационный пункт, основная точка, операционный базис» этой системы заключался в виде капиталистического производства, которая должна строго преследоваться как во внутреннем строе, так и во внешней обстановке. Конечно, утопистам и мечтателям в принципе капитализма грезится призрак всепоглощающей привилегии, которая из трудящихся классов создает самый безвыходный пролетариат, но это несправедливо, если на дело взглянуть беспристрастно. Именно: один и тот же капитал, если он разделен между несколькими тысячами людей, почти не существует, как экономическая сила, тогда как, сосредоточенный в одних руках, он представляет громадную величину, которою следует только воспользоваться надлежащим образом. В данном случае именно по отношению к заводовладельцу было бы

смешно остановиться на том выводе, что он воспользуется своей силой во вред своим рабочим. Наоборот, по коренному свойству человеческой природы можно предположить, что по мере увеличения силы заводовладельца будет возрастать благосостояние его рабочих, потому что именно здесь их интересы совпадают. Логика — самая простая: лучше заводам — лучше заводовладельцу и рабочим, тем более что с расширением производства будет прогрессировать запрос на рабочие руки. Кажется, ясно? Это — относительно, так сказать, внутренней политики; что же касается до внешних отношений, то здесь вопрос усложняется тем, что нужно говорить не об одном заводе, даже не о заводском округе, даже не об Урале, а вообще о всей нашей промышленной политике, которая постоянно колебалась и колеблется между полной свободой внешнего рынка и покровительственной системой в строгом смысле слова. Можно сказать вполне утвердительно, что эти колебания во взглядах правительства до сих пор самым пагубным образом отражались на всей русской промышленности, а на горной в осо-

бенности. Строго проведенная покровительственная система является в промышленной жизни страны тем же, чем служит школа для каждого человека в отдельности: пока человек не окреп и учится, ясное дело, что он еще не может конкурировать со взрослыми людьми; но дайте ему возможность вырасти и выучиться, тогда он смело выступит конкурентом на всемирный рынок труда. Вот именно такой школы до сих пор и недоставало русской промышленности, и наша задача — ее создать. В этом случае нельзя не соглашаться с выводами Кэри, который отстаивает покровительственную систему.

— Да, а рабочим, по Мальтусу, будете рекомендовать нравственное воздержание? — спросил Прозоров прищурившись.

— До этого пока еще не дошло, но и это иметь в виду не мешает. Отчего мы можем воздерживаться от брака до того времени, пока не составим себе определенного общественного положения, а рабочий будет плодить детей с шестнадцати лет?

— По-моему, это проповедовать открытый разврат, хотя и теперь нравственность завод-

ского населения стоит не особенно высоко. Я выпью еще, Мирон Геннадич?..

— Выпей. Только о Мальтусе я упомянул, Виталий Кузьмич, между прочим, собственно для выяснения своих взглядов — это еще вопрос далекого будущего, а теперь прежде всего необходимо самое существенное: развязаться с этой уставной грамотой, а потом освободить заводы от долгов. Ведь у нас все металлы заложены в государственный банк...

— Знаю, слышал... Только я хотел бы сказать тебе слова два о твоей системе.

Прожевывая ломтик балыка, Прозоров забегал по кабинету с своими обычными жестами. Генерал смотрел на него с тем оттенком снисхождения, с каким умеют смотреть добрые русские генералы.

— Ты уж меня извини за откровенность, Мирон, — предупреждал Прозоров. — Я, конечно, пьяница и потерянный человек...

— Это, право, не относится к делу.

— Ну, хорошо, допустим, что не относится. А я тебе прямо скажу, что вся твоя система выеденного яйца ни стоит. Да... И замечательное дело: по душе ты не злой человек, а рас-

суждаешь, как людоед.

— Именно?

— Очень просто: ты продал душу черту, то есть капиталистам, а теперь утешаешься разными софизмами. Ведь и сам чувствуешь, что совсем не то говоришь...

— Нет, я этого не чувствую.

— Тем хуже для тебя! Если я погибаю, то погибаю только одной своей особой, от чего никому ни тепло, ни холодно, а ты хочешь затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во имя своих экономических фантазий. Иначе я не могу назвать твоей системы... Что это такое, вся эта ученая галиматья, если ее разобрать хорошенько? Самая некрасивая подтасовка научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу.

Генерал поморщился, но продолжал слушать это немножко откровенное возражение. Упомянув о значении капитализма, как общественно-прогрессивного деятеля, поскольку он, при крупной организации промышленного производства, возвышает производительность труда, и далее, поскольку он расчищает почву для принципа коллективизма, Прозо-

ров указал на то, что развитие нашего отечественного капитализма настойчиво обходит именно эту свою прямую задачу и, разрушив старые крепостные формы промышленности, теперь развивается только на счет технических улучшений, почти не увеличивая числа рабочих даже на самый ничтожный процент, не уменьшая рабочего дня и не возвышая заработной платы. Ясное дело, что когда все кругом дорожает и, кроме того, наш курс все надает, фабричному рабочему приходится выводить на фабрику свою жену и детей. Если продолжать в этом же направлении, впереди вырастут страшные промышленные кризисы, с одной стороны, а с другой — создастся русский пауперизм.

— Вот вам результаты прославленного наукой рационального разделения труда, — уже кричал Прозоров, страшно размахивая руками. — Вы забываете о рабочем и его будущности, а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу кучки крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от труда сотен тысяч рабочих... Притом вы, во

имя развития отечественной промышленности, стараетесь непременно занять привилегированное положение, что опять-таки всей своей тяжестью ложится все на того же рабочего: каждый нажитый вами этим путем рубль является дефицитом в народном хозяйстве, потому что рабочему он стоит десять рублей. Нет, батенька, все это гниль и чепуха...

Прозоров продолжал в том же роде; генерал слушал его внимательно, стараясь проверить самого себя.

— А впрочем, ну вас к черту совсем, со всей вашей ученой ерундой! — неожиданно закончил Прозоров, наливая себе рюмку водки.

— Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! — проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. — Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..

— Что рассказывать: весь налицо... Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней...

— У тебя, кажется, дочь была?

— Да, была... И теперь оная имеется в на-

личности. Так, пустельга... Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно...

С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул...

«Действительно, настоящая свинья...» — с горечью подумал генерал.

Глава 16

У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как вспугнутый вальдшнеп, оторопело выбегал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая

мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хоромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.

Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор

Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком.

— Это какой-то идиот... — резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. — И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощелыги Перекрестова!

— Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, — мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. — Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.

— Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость... За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?

— Нет, а мне каково достается! — перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. — Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего... Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная — ступить по-человечески не умеет.

— А Канунникова?

— Канунникова... Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы... Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонок между пальцами.

— Чем труднее задача, тем приятнее победа, — заметил Вершинин. — Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.

— Тем более неприлично унывать артиллеристу, через которого переехало целое орудие... — прибавил Майзель.

— Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, — защищался Сарматов. — Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова... Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?

— Я вас не понимаю, Сарматов, — отозвал-

ся доктор.

— Не понимаете? Пустяки, батенька, нечего прикидываться... Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глисту?

— Совсем не маринованную... Зачем вы врете, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией — ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр taenia solnm. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.

— Виноват, а я думал — в уксусе. Что же вам сказала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глистой?

— Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только...

Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденьким дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! — со злобой думал Майзель, закручивая ус. — Пожалуй, еще все разболтает...» Он пожалел, что пригласил се-

годня доктора на общий совет.

— Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? — спрашивал Вершинин. — Девочка ничего себе...

— Не приказано... Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..

— А mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?

У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.

— А Раиса Павловна что-нибудь устроит, — говорил кто-то. — Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.

— Ну, это еще Андроны едут, — сомневался Майзель. — Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала... А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха...

Вершинин засмеялся деланным смехом из

уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золотую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный боров, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности, собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг друга; все потихоньку тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин ви-

сел на волоске, и предоставлялось каждому решать мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три — это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев — как юрист и делец, а Майзель — как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливцем, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?

Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель, взорванный такой невнимательностью, решился без него приступить к делу.

— Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой народ и никто не вынесет сору из избы, — начал он, отчеканивая слова. — Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере, для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?

— Да, он совсем глух и слеп, — провозгласил Сарматов.

— Господа, кто-то, кажется, подъехал? — заметил

Дымцевич, все время ощипывавшийся и охорашивавшийся, как курица перед дождем. — Это, наверно, Тетюев...

— Конечно, он...

В кабинет действительно вошел сам Тетюев, облеченный в темную синюю пару, серые перчатки и золотое пенсне. Он с деловой, сосредоточенной улыбкой пожал всем руки, извинился, что заставил себя ждать, и проговорил, сосредоточенно роняя слова, как доктор отсчитывает капли лекарства:

— Дела по горло, на части так и рвут. Едва успел вырваться из управы.

— Врешь, врешь и врешь! — перебил Сарматов. — Наверно, наигрывал на какой-нибудь дудке... Знаем твои дела!.. А мы без тебя тут чуть не составили целый заговор.

Майзель поморщился и сердито хрустнул пальцами; он еще раз пожалел, что пригласил на совещание доктора и Сарматова, хотя без них счет был бы не полон.

— Я догадываюсь, господа, о чем шла речь, — подхватил Тетюев брошенную реплику. — Да, нам необходимо соединиться во имя общей цели, хотя мое дело, собственно говоря, сторона.

— Ну, ну, Авдей Никитич, полноте притворяться, — заговорил Вершинин. — Кто зава-

рил кашу, тому и красная ложка...

— Я, ей-богу, ничего... Я в первый раз слышу. Какая каша? Обо мне, право, много лишнего говорят.

— Однако будет, господа, толковать о пустяках, — остановил эти препирательства Майзель. — Приступимте к делу; Авдей Никитич, за вами первое слово. Вы уж высказали мысль о необходимости действовать вместе, и теперь остается только выработать самую форму нашего протеста, чтобы этим дать делу сразу надлежащий ход. Как вы полагаете, господа?

— Подадимте петицию на имя Евгения Константиныча, — предложил Сарматов. — Выскажемся в ней прямо: что так и так, уважая Платона Васильича и прочее, мы не можем больше оставаться под его руководством. Тут можно наплести и о преуспеянии заводского дела, и о нравственном авторитете, и о наших благих намерениях. Я даже с своей стороны предложил бы формулировать эту петицию в виде ультиматума...

— Я первый на это никогда не соглашусь, — заявил Вершинин, — потому что это

по меньшей мере глупо... С какой стати ради Платона Васильича я буду рисковать своим местом?

— Я тоже, — заговорил Майзель. — Мы — люди семейные... Как вы думаете, господа?

Дымцевич и Буйко были, конечно, согласны с ним, потому что хотя были бы не прочь получать пятнадцать тысяч годовых, но лишаться своих трех тысяч тоже не желали. Доктор протестовал против такого решения, потому что уж если начинать дело, так нужно вести открытую игру.

— Что же нам прятаться, если наше дело справедливо? — своим жиденьким тенорком вытягивал доктор. — Нас много, а Платон Васильич один.

— Хорошо вам толковать, Яков Яковлевич, — вступился Вершинин, — когда у вас ни кола ни двора. Отказали от места, поступил на другое — и вся недолга. На докторов теперь везде спрос, а нашему брату получить место — задача не маленькая.

— Но ведь это наконец не честно, — горячился доктор. — Из-за своих личных, можно сказать, семейных расчетов вилять хвостом

перед заводовладельцем...

— Ничего вы не понимаете! — оборвал Майзель. — Вы, Яков Яковлич, штанов-то не умеете застегнуть хорошенько, а еще толкуете о честности...

Яша Кормилицын позеленел от злости и, кажется, даже готов был вцепиться в солдатскую физиономию Майзеля, но это неожиданное и неприятное недоразумение было сейчас же устранено вмешательством Тетюева, который несколькими фразами потушил занявшийся пожар.

— Он меня оскорбил! — тоненьким голоском жаловался Кормилицын, размахивая руками, как манекен.

— Ну что ж из этого? — удивлялся Тетюев. — Николай Карлыч почтенный и заслуженный старик, которому многое можно извинить, а вы — еще молодой человек... Да и мы собрались сюда, право, не за тем, чтобы быть свидетелями такой неприятной сцены.

— Завтра дуэль учиним, Яша! — кричал Сарматов доктору. — На тридцати шагах стрелять, постепенно подходя к барьеру, пока один из вас не покончит земное странствие...

После этого маленького эпизода приступили к обсуждению имеющей быть кампании. Выпито было две бутылки шартреза, лица у всех раскраснелись голоса охрипли. Наконец порешили представить Евгению Константинычу свои мотивы и соображения на словах, по той программе, которую разработает особая комиссия.

— А кто же возьмет на себя роль оратора, господа? — спрашивал Тетюев.

— Как кто? А вы-то на что? Да мы на вас, Авдей Никитич, надеемся, как на каменную стену...

— Помилуйте, господа, я-то тут при чем! — удивлялся Тетюев. — Я, конечно, сочувствую вам и готов помочь вам всеми силами, потому что настоящий цезаризм касается и меня как представителя земства. Я должен внести свою лепту в общее дело, но ведь теперь вы являетесь в качестве заводских служащих, как же я к вам пристану?

— Действительно, это не совсем удобно, — согласился Вершинин.

— Я могу представить проект от лица земства — это другое дело, — продолжал Тетю-

ев. — Но в таком случае мне лучше явиться на аудиенцию к Евгению Константинычу одному.

Еще немножко поспорили и согласились с доводами Тетюева.

— Это еще будет лучше, — соображал Сарматов. — Мы откроем действие с двух сторон разом. А все-таки, господа, кто из нас будет оратором? Я подаю голос за доктора...

— И я тоже, — отозвался Вершинин.

— И я тоже... — зараз посыпались голоса.

— Право, уж не знаю, как быть... — сомневался Яша Кормилицын, вытягивая шею и поправляя свою гриву. — Оратор-то я плохой; пожалуй, еще и перевру что-нибудь.

— Ничего, мы вам напишем всю речь, а вы ее выучите наизусть, — успокаивал Тетюев.

— Пустяки! пропустить две рюмки коньяку перед тем, как идти к Евгению Константинычу, — и вся недолга.

— Что ж, я, пожалуй, согласен! — вяло уступил доктор.

— Вот и отлично, Яша! — говорил Сарматов, хлопая доктора по плечу. — Послужи миру, голубчик... А нам как-то неловко: пожа-

луй, Евгений Константиныч еще подумает про всякого, что он именно и желает занять место Платона Васильича. Ведь так, Яшенька?

После этого соглашения приступили к разработке программы будущих действий и Яшиной речи, в частности. Тетюев стоял за то, чтобы не торопиться, а дать время хорошенько выясниться обстоятельствам.

— А если мы будем тянуть, да и пропустим Евгения Константиныча, — сомневались Буйко и Дымцевич. — Что ему стоит сесть, да и уехать?

— Не упустим, — уверенно говорил Тетюев, потирая руки. — Извините, господа, мне сегодня некогда... Дело есть. В другой раз как-нибудь потолкуем...

Взглянув на свой полухронометр, Тетюев с прежней улыбкой начал прощаться. Заговорщики выпили после него еще бутылку какого-то вина и тоже начали прощаться.

— До завтра... — коротко говорил Майзель, протягивая руку друзьям. — Завтра надеюсь опять видеть вас у себя. Для друзей у меня всегда найдется бутылочка порядочного вина

и горячий бифштекс.

Когда все убрались, Майзель медленно сделал налево кругом, как будто поворачивал целую роту, и тяжело, как матерой седой медведь, побрел на половину Амалии Карловны, которая встретила его в дверях спальни в одной кофточке, совсем готовая отойти ко сну.

— Ну, что? — испросила она, вытягивая свое птичье лицо.

— Ничего... дураки!

Майзель коротко засмеялся, награждая свою Амальхен русско-немецким «кюссхен» [68].

— Кто дураки?

— Да все, Амальхен... И вдобавок еще настоящие русские свиньи! Представь себе, Вершинин и Тетюев мечтают занять место Горемыкина... Ха-ха-ха!..

Амальхен тоже засмеялась, презрительно сморщив свой длинный нос. В самом деле, не смешно ли рассчитывать на место главного управляющего всем этим свиньям, когда оно должно принадлежать именно Николаю Карлычу! Она с любовью посмотрела на статную, плечистую фигуру мужа и кстати припомни-

ла, что еще в прошлом году он убил собственноручно медведя. У такого человека разве могли быть соперники?

— Свиньи все... — еще раз проговорил Майзель, облекаясь в расшитый шелками шлафрок. — Я им покажу всем, где раки зимуют, только бы...

Еще один кюссхен, и плотная чета предалась крепкому, счастливому сну.

Глава 17

У Тетюева действительно было серьезное дело. Прямо от Майзеля он отправился в господский дом, вернее, к господскому саду, где у калитки его уже поджидала горничная Нины Леонтьевны. Под предводительством этой особы Тетюев благополучно достиг до генеральского флигелька, в котором ему сегодня была назначена первая аудиенция.

— Пожалуйте сюда... — шепотом пригласила его горничная в полуосвещенную маленькую гостиную, окна которой были завешаны драпировками.

Оставшись в комнате один, Тетюев почувствовал невольное смущение. Его шокирова-

ло это обходное движение через господский сад и вообще вся таинственная обстановка, при которой приходилось вести дело. Но отступать было поздно. От нечего делать он принялся рассматривать тропические растения, которые топорщились из углов гостиной зелеными лапами. Воздух был пропитан запахом пудры и еще какими-то сильными духами, какие любят женщины зрелых лет. Но вот в соседней комнате зашуршало по полу шелковое тяжелое платье, и на пороге появилась квадратная, заплывшая жиром фигура Нины Леонтьевны. Она по обыкновению была расцвечена самыми пестрыми бантами, кольцами и перьями; на голове из кружев и лент образовалось что-то вроде радужного гребня. Первое впечатление, которое Нина Леонтьевна произвела на Тетюева, можно было сравнить только с тем, если бы в дверях показалась цветочная копна.

Дельцы окинули друг друга с ног до головы проницательными взглядами, как люди, которые видятся в первый раз и немного не доверяют друг другу. Нина Леонтьевна держала в руках серебряную цепочку, на которой пры-

гала обезьяна Коко — ее любимец.

— Вы опоздали на полчаса... — хрипло проговорила наконец Нина Леонтьевна, взглянув на свои золотые часы, болтавшиеся у ней на груди на брильянтовом аграфе.

— Виноват, меня задержали... — смущенно пробормотал Тетюев, совсем не ожидавший такого приема. — Я сейчас от Майзеля.

— Знаю.

— Там было маленькое совещание по нашему делу.

— Знаю.

«Это черт, а не баба», — подумал Тетюев, опять рассматривая свою собеседницу.

— Генерал весь вечер пробудет у Евгения Константиновича, и мы с вами можем потолковать на досуге, — заговорила Нина Леонтьевна, раскуривая сигару. — Надеюсь, что мы не будем играть втемную... Не так ли? Я, по крайней мере, смотрю на дело прямо! Я сделаю для вас все, что обещала, а вы должны обеспечить меня некоторым авансом... Ну, пустяки какие-нибудь, тысяч двадцать пока.

Тетюев даже съежился от такой цифры и только промычал в ответ какую-то бессвяз-

ную фразу. Он теперь ужо окончательно убедился, что действительно имеет дело с чертом, и потому решил, что нечего церемониться с этой цветочной копной.

— Видите ли, Нина Леонтьевна, — заговорил Тетюев с деловой вкрадчивостью, — ведь дело еще совсем не верное, и кто знает, чем оно может кончиться.

— Та-ак... А для кого же я везла сюда Евгения Константиныча, по-вашему?

— Так как вы высказали сейчас желание говорить откровенно, то я вам отвечу вопросом: разве вы что-нибудь проиграли от такой поездки?

— Это уж мое деле, милостивый государь.

— Вот именно это-то и хорошо, что вы ехали для своего дела, другими словами — для себя, а мое положение совсем неопределенное и почти безнадежное: я хлопочу, работаю, а плодами моих трудов могут воспользоваться другие...

— Что вы хотите сказать этим?

— А то, что даже в счастливом случае, когда нам удастся столкнуть Горемыкиных, кандидатами на их место являются Вершинин и

Майзель... Извините, но за такое удовольствие платить двадцать тысяч по меньшей мере глупо.

— Но ведь без меня вам не добиться аудиенции у Евгения Константиныча? И кроме того, его нужно очень и очень подготовить к такой аудиенции.

— Все это так, но все это может кончиться в результате нулем. Я полагал, Нина Леонтьевна, что найду в вас сотрудника по общему делу, а вы ставите вопрос совершенно на другую почву.

— Благодарю за внимание... Но вы, как видите, ошиблись в своих расчетах, поэтому нам лучше расстаться сейчас же.

В первую минуту Тетюев онемел, но Нина Леонтьевна поднялась с вызывающим видом: значит, или двадцать тысяч, или уходи. На несколько мгновений Тетюев остановился, но потом сделал деловой поклон и молча направился к двери. Когда он надевал в передней свое пальто, Нина Леонтьевна окликнула его:

— Авдей Никитич, вернитесь!..

— Незачем, Нина Леонтьевна, — ответил Тетюев. — Я не могу дать вам и двадцати ко-

пеек... вперед.

— Ха-ха-ха! — залилась квадратная женщина. — Да вернитесь, говорят вам. Очень мне нужны ваши двадцать копеек... Я просто хотела испытать вас для первого раза. Поняли? Идите и поговоримте серьезно. Мне нужно было только убедиться, что вы в состоянии выдержать характер.

В уютной гостиной генеральского флигелька завязался настоящий деловой разговор. Нина Леонтьевна подробно и с обычным злым остроумием рассказала всю историю, как она подготовляла настоящую поездку Лаптева на Урал, чего это ей стоило и как в самый решительный момент, когда Лаптев должен был отправиться, вся эта сложная комбинация чуть не разлетелась вдребезги от самого пустого каприза балерины Братковской. Ей самой приходилось съездить к этой сумасшедшей, чтобы Лаптев не остался в Петербурге.

Потом Нина Леонтьевна очень картинно описала приезд Лаптева в Кукарский завод, сделанную ему торжественную встречу и те впечатления, какие вынес из нее главный ви-

новник всего торжества. В коротких чертах были сделаны меткие характеристики всех действующих лиц «малого двора». Тетюеву оставалось только удивляться проницательности Нины Леонтьевны, которая по первому взгляду необыкновенно метко очертила Вершинина, Майзеля и всех остальных, причем пересыпала свою речь самой крупной солью.

— Откуда все это вы могли узнать? — удивлялся Тетюев.

— Мало ли я что знаю, Авдей Никитич... Знаю, например, о сегодняшнем вашем совещании, знаю о том, что Раиса Павловна приготовила для Лаптева лакомую приманку, и т. д. Все это слишком по-детски, чтобы не сказать больше... То есть я говорю о планах Раисы Павловны.

Этот разговор с умной женщиной наполнил плутоватую душу Тетюева настоящим восторгом, так что он даже не допытывался, откуда Нина Леонтьевна могла все знать. Для него ясно было, что теперь он созерцает настоящего дельца, дельца высшей пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счеты идут на сотни тысяч и миллионы. Эта сфера всегда

неудержимо тянула к себе Тетюева, и он в минуты откровенности с самим собою иногда думал, что именно создан для нее, а совсем уж не за тем, чтобы пропадать где-то в медвежьей глуши. Пред Ниной Леонтьевной он почувствовал себя таким маленьким и ничтожным, как новичок, которого только что привели в класс. В самом деле, что могло быть печальнее председателя уездной земской управы, получающего годовых две с половиной тысячи, когда другие рвали десятки и сотни тысяч? Вот хоть эта самая Нина Леонтьевна, безобразная и старая баба — и больше ничего, а ведь умела же поставить себя, да еще как поставить! Ему, Тетюеву, нужно трубить в своем земстве десять лет, чтобы получить столько, сколько получит Нина Леонтьевна, если подготовит всего одно дело. А между тем разве он, Тетюев, хуже других, если бы ему попал в руки хороший случай?

— А как вы думаете, Нина Леонтьевна, долго Евгений Константиныч пробудет у нас? — спрашивал Тетюев после наступившей тяжелой паузы.

— Это неизвестно, Авдей Никитич, никому

неизвестно. Все будет зависеть от обстоятельств, как они сложатся... Во всяком случае я убеждена, что Евгений Константиныч не заживется здесь, и поэтому не следует даром терять времени...

В течение двух часов, которые пробыл Тетюев в генеральском флигельке, было переговорено подробно обо всем, начиная с обсуждения общего плана действий и кончая тем проектом о преобразованиях в заводском хозяйстве, который Тетюев должен будет представить самому Евгению Константинычу, когда Нина Леонтьевна подготовит ему аудиенцию.

Возвращаясь из генеральского флигелька опять по саду, Тетюев уносил в душе частичку того самого блаженного чувства, которое предвкусил в обществе Нины Леонтьевны, точно он поднимался неведомой силой кверху, в область широких начинаний, проектов, планов и соображений. На половине Раисы Павловны в двух окнах виднелся слабый огонек. Взглянув на него, Тетгоев сладко улыбнулся про себя. В самом деле, как странно и нелепо устроен свет: даже если он, Тетюев, и

не займет места Горемыкина, все-таки благодаря борьбе с Раисой Павловной он выдвинется наконец на настоящую дорогу. Это так нее верно, как верно то, что завтра будет день...

В спальне Раисы Павловны действительно горел огонь в мраморном камине, а сама Раиса Павловна лежала на кушетке против огня, наслаждаясь переливами и вздрагиваниями широких огненных языков, лизавших закопченные стенки камина. Около Раисы Павловны сидела в кресле Луша. На полу валялась разогнутая французская книга, которую они только что читали. Раиса Павловна задумчиво смотрела на огонь, испытывая закачивавшее чувство дремы, уносившее ее в далекий мир воспоминаний; Луша ничего не испытывала, кроме своей обыкновенной тоски.

— Луша, ты видела *их?* — спрашивала Раиса Павловна, просыпаясь от своего забытья.

— Кого их?

— Ну, Евгения Константиныча, Прейна и компанию?

— Да, мельком.

Раиса Павловна опять задумчиво смотрела

на огонь и как-то мягко, точно в полупросонье, заговорила:

— Голубчик, *это* все не то... Да. Я считала их гораздо выше, чем они есть в действительности. Во всей этой компании, включая сюда и Евгения Констаптиныча с Прейном, есть только один порядочный человек в смысле типичности — это лакей Евгения Константиныча, mister Чарльз.

Луша не понимала, зачем Раиса Павловна говорит все это, но сделала внимательное лицо и приготовилась слушать.

— Mister Чарльз — цельная, выдержанная натура, — продолжала Раиса Павловна, полузакрывая глаза. — Это порядочный человек в полном смысле слова, хотя и лакей... Я уверена, что Евгений Константиныч только и уважает его одного, потому что mister Чарльз единственный gentleman во всей компании. Даже сам Евгений Константиныч не дорос до такого gentleman'a, хотя и корчит из себя ультрафешенебельного денди во вкусе young Albion[69]. Это просто, как и Прейн, то, что немцы и берлинцы называют Lebemann'ом, то есть человеком, живущим во всю ширь. У

него недостает характера, выдержки... Вернее назвать его просто русским набобом, да и то с оговоркой. Вообще я думала о нем лучше.

— А другие? — спрашивала Луша, глядя на пробегавшее в камине пламя и синие струйки газа.

— Другие? Другие, выражаясь по-русски, просто сволочь... Извини, я сегодня выражаюсь немного резко. Но как иначе назвать этот невозможный сброд, прильнувший к Евгению Константинычу совершенно случайно. Ему просто лень прогнать всех этих прихлебателей... Вообще свита Евгения Константиныча представляет какой-то подвижной кабак из отборнейших тунеядцев. Видела Летучего? Да все они одного поля ягоды... И я удивляюсь только одному, чего смотрит Прейн! Тащит на Урал эту орду, и спрашивается — зачем?

Раиса Павловна после этого немного патетического вступления перешла к jeunesse dorée[70] вообще и русской в частности. Такая молодежь в ее глазах являлась всегдашним идеалом, последним словом той жизни, для которой стоило существовать на свете поря-

дочной женщине, в особенности женщине красивой и умной. Она с увлечением рассказывала о блестящей европейской клике, к которой русская jeunesse dorée присосалась только одним боком, никогда не достигая чистокровного дендизма. Из русской золотой молодежи Раиса Павловна отдавала предпочтение дипломатической и министерской фракциям, а всего выше ставила гвардейскую золотую молодежь. Получалась необыкновенно эффектная комбинация из дрессированных лошадей, модных кабаков, ужинов, устриц, пикников, avec de ces dames[71], шампанского, векселей и самых высоких понятий о чести мундира и т. д.

— Да, это совершенно особенный мир, — захлебываясь, говорила Раиса Павловна. — Нигде не ценится женщина, как в этом мире, нигде она не ценится больше, как женщина. Женщине здесь поклоняются, ей приносят в жертву все, даже жизнь, она является царицей, связующей нитью, всесильным центром.

Глава 18

С самого первого дня появления Лаптева в Кукарском заводе господский дом попал в настоящее осадное положение. Чего Родион Антоныч боялся, как огня, то и случилось: мужичье взбеленилось и не хотело отходить от господского дома, несмотря на самые трогательные увещания не беспокоить барина.

— Уж ты, Родивон Антоныч, оставь нас, пожалуйста, оставь! — упирались мужики. — Не к тебе пришли...

— А-ах, б-боже м-мой!.. — отмахивался Родион Антоныч руками и ногами. — Разве я держу вас... а? А вы то рассудите: устал барин с дороги или нет?

Ходоки переминались с ноги на ногу, пыхтели, переглядывались, чесали в затылках и кончали тем, что опять начинали старую песню:

— Уж ты, Родивон Антоныч, не препятствуй... Дельце у нас до барина есть.

Какими-то неведомыми путями по заводу облетела весть, что генерал будет разбирать дело крестьян насчет уставной грамоты и что

генерал строгий, но справедливый. К этому было прибавлено много посторонних соображений и своих собственных фантазий, так что около слова «генерал» выросла настоящая легенда. Барин молод, не надеется на себя, а другие-то его обманывают, вот он и привез с собой генерала, чтобы все, значит, сделать на совесть, по-божескому, чтобы мужичков не изводить напрасно, и т. д. Ходоки особенно надеялись на генерала и, желая послужить миру, пробивались к барину во что бы то ни стало. У них были уже заготовлены на всякий случай две бумаги: одна барину, другая генералу. Родион Антоныч, конечно, все это знал и удвоил усилия, чтобы не пропускать мужиков. Расставлены были сотские и десятники, чтобы отгонять подозрительный парод от господского дома; даже приглашена была полиция на всякий случай, если бы мужичье вздумало бунтовать.

Из числа ходоков особенно выделялись два старика раскольника, которые добивались своей цели особенно настойчиво. Один, с косматой седой бородой и большим лысым лбом, походил на одного из тех патриархов,

каких изображают деревенские богомазы; складки широкого армяка живописно драпировали его высокую, сгорбленную, ширококостную фигуру. Другой, толстый и слащавый, с сладкой заговаривающей речью, принадлежал к типу мужицких «говорков», каких можно встретить на каждом сельском сходе; раскольничья выдержка и скрытность придавали ему вид настоящего коновода. Первого звали Ермилом Кожиным, второго просто Семенычем. Выдавался еще третий говорок, испитой, чахоточный мужик с широким горлом, по фамилии Вачегин. Люди этого типа составляют истинное несчастье на всех сельских сходах, где горланят и кричат за четверых. В сущности, Вачегин был глупый и несуразный мужик, но его общество выбрало впридачу Кожину и Семенычу на том основании, что Вачегин уж постоит на своем, благо господь пастью его наградил. Другие ходоки были набраны больше для «числа», чтобы придать вес «бумаге», которая должна была быть подана барину. Большинство принадлежало к тем волостным «старичкам», которые особенно падки на даровое мирское винцо.

Толку от них, конечно, было мало, но все-таки главным говоркам как-то было веселее выступить под этим прикрытием. Оно там, как-никак, а все-таки страшно идти к барину, и только кровные мирские интересы заставляли забывать страх.

Нужно сказать, что все время, как приехал барин, от господского дома не отходила густая толпа, запрудившая всю улицу. Одни уходили и сейчас же заменялись другими. К вечеру эта толпа увеличивалась и начинала походить на громадное шевелившееся животное. Вместе с темнотой увеличивалась и смелость. Поднимался крик и гвалт. Все желали непременно видеть барина и ни за что не хотели уходить от господского дома. Чтобы разогнать толпу, генерал уговаривал Евгения Константиныча выйти на балкон, но и эта крайняя мера не приносила результатов: когда барин показывался, подымалось тысячеголосое «ура», летели шапки в воздух, а народ все-таки не расходился по домам. Родион Антоныч с ужасом видел, как из моря голов поднимались чьи-то руки с колыхавшимися листами писаной бумаги, и сейчас же посылал

казаков разыскивать буянов. Руки с бумагами на время исчезали. Только раз чуть-чуть не перехитрили Родиона Антоныча, именно, лист такой бумаги подняли на длинной палке к самому балкону, и, по всей вероятности, Лаптев принял бы это прошение, если бы лихой оренбургский казак вовремя не окрестил нагайкой рук, которые держали шест с прошением. Опасность счастливо миновала, но виновный, как и в предыдущих случаях, не был отыскан.

Бунтовщики не удовольствовались этим, а какими-то неисповедимыми путями, через десятки услужливых рук, добрались наконец до неприступного и величественного m-r Чарльза и на коленях умоляли его замолвить за них словечко барину. В пылу усердия они даже пообещали ему подарить «четвертной билет», но m-r Чарльз с величественным презрением отказался как от четвертного билета, так и от ходатайства перед барином.

— Я хорошо знаю свои обязанности и никогда не мешаюсь в дела Евгения Константиныча, — сухо ответил gentleman, полируя свои ногти каким-то розовым порошком. —

Это мое правило...

Когда мужики начали кланяться этому замороженному холопу в ноги, m-r Чарльз величественно пожал плечами и с презрением улыбнулся над унижавшейся перед ним бесхарактерной «русской скотиной».

Эта игра кончилась наконец тем, что ходоки как-то пробрались во двор господского дома как раз в тот момент, когда Евгений Константиныч в сопровождении своей свиты отправлялся сделать предобеденный променад. Б суматохе, происходившей по такому исключительному случаю, Родион Антоныч прозевал своих врагов и спохватился уже тогда, когда они загородили дорогу барину. Картина получилась довольно трогательная: человек пятнадцать мужиков стояли без шапок на коленях, а говорки в это время подавали свою бумагу.

— Что вам нужно? — спросил Лаптев поморщившись.

Он надевал перчатки и уже занес было ногу на подножку экипажа. Эта маленькая остановка неприятно подействовала на его нервы.

— Мы к тебе, батюшка-барин! — голосили старички, кланяясь в землю. — Бот прими от нас бумагу, там все прописано.

— Насчет наделу, батюшка-барин, — прибавил голос одного из ходоков. — Обезживотили нас без тебя-то... На тебя вся надёжа!

— Хорошо, хорошо... Б чем дело? — проговорил лениво Лаптев, принимая измятую «бумагу».

Мельком взглянув на заголовок прошения, он опять поморщился и передал «бумагу» генералу.

— Это, кажется! по вашей части... — прибавил он.

— Да, мы рассмотрим после, — проговорил генерал, обращаясь к стоявшим на коленях просителям. — Встаньте... Приходите ко мне послезавтра, тогда разберем ваше прошение, а теперь, как сами видите, барину некогда.

«Бумага» от генерала перешла в руки его секретаря, у которого и исчезла в изящном портфеле. Экипаж быстро унес барина с его свитой, а старички остались на коленях.

— Ах, вы, ироды, ироды!.. — ругался Родион Антоныч, наступая на ходоков по-петуши-

ному. — Не нашли другого времени... а? Уж я говорил-говорил вам, а вот теперь и пеняйте на себя. Лезут с бумагой к барину, когда тому некогда....

— Родивон Аитоиыч, уж ты, право... Ах, какой ты! Мы тебе добром говорили: пусти... а?

Толпа старичков уныло побрела с господского двора. Десяток корявых рук чесался в мужицком затылке, выскребая оттуда какие-то мудреные соображения. Кожин шагал, сосредоточенно опустив голову; он позабыл надеть шапку и бережно нес ее в той руке, которая еще так недавно держала бумагу. У Семеныча заскребло на душе, когда генерал передал бумагу какому-то стрикулисту, а тот ее спрятал. Дойдет или не дойдет бумага до барина? — вот роковой вопрос, который клином засел в крепкой мужицкой голове. А если бы дошла бумага, барин своими глазами увидел бы, что их дело совсем правое... Ведь Родивон Антоныч прижимку им сделал в уставной грамоте, а барину зачем прижимать! барин все разберет, потому ему — своя часть, нам — своя. Семеныч думал то же самое, что думал Кожин и что думали другие, с той раз-

ницей, что его начинало разбирать то чувство неуверенности, в каком он боялся сознаться самому себе. «А-ах, неладно маненько вышла наша бумага!» — думал Семеныч, дергая плечом.

— А ведь он тово... — проговорил наконец Семеныч, нарушая общее молчание.

— Чево: тово?

— Да наш Родивон-то Антоныч...

— Ну?..

— Просолим, пожалуй, нашу бумагу. Кабы неустойка не вышла...

— А генерал?

— Генерал, оно, конешно... Уж тут что говорить: генерал заправский. Да уж оно обнаковенно...

Кожин сердито посмотрел на Семеныча и даже плюнул. Это были два совершенно противоположные характера. Они мало в чем сходились между собой, но не могли обойтись один без другого, когда дело заходило о том, чтобы послужить миру. Кожин слишком был тяжел и по уму и по характеру, но это был железный человек, когда добивался своей цели; Семеныч был мягче, податливее и

часто мучился «сумлениями» и любил обходные пути, когда не находил прямой дороги. В трудную минуту Семеныч умел разогнать тоску своим балагурством и шуточками, и теперь, после налетевшего сумления, он добродушно проговорил:

— А я, братцы, так полагаю, что мы подведем животы Родьке нашей бумагой... Недаром он бегает, как очумелый. Уж верно!.. Загнули ему таку загадку, что не скоро, брат, раскусишь. А бумагу генерал обещал разобрать послезавтра... Значит, все ему обскажем, как нас Родька облапошивал, и всякое прочее. Тоже и на них своя гроза есть. Вон, он какой генерал-от: строгой...

Родион Антоныч действительно почувствовал себя крайне плохо, когда роковая бумага наконец попала в руки генералу, который сейчас же назначил мужичью и время для объяснений. Это проклятое «послезавтра» теперь было точно приколочено к мудрой голове Родиона Антоныча двухвершковым гвоздем, и он со страхом думал: «Вот когда началось-то...» Теперь он чувствовал себя в положении человека, которого спускают в глубо-

кий колодезь. Что-то будет, и удастся ли ему еще раз вынырнуть из медленно поглощавшей его бездны... Ох, недаром он видел себя во сне дупелем! Сон вышел в руку. В довершение всех бед Раиса Павловна приняла известие о поданной мужиками бумаге с самым обидным равнодушием, точно это дело нисколько ее не касалось. На поверку выходило так, что Родион Антонович должен был выпутываться за всех одной своей головой. И зачем было этой Раисе Павловне тягаться с Тетюевым, точно места для двоих не хватило бы! А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, да еще не смей пикнуть ни о чем, что могло бы бросить тень на Раису Павловну. Родион Антоныч чувствовал себя тем клопом, который с неуклюжей торопливостью бежит по стене от занесенного над его головой пальца — вот-вот раздавят, и поминай, как звали маленького человека, который целую жизнь старался для других.

— Что за беда, если вам придется объясниться с генералом! — говорила Раиса Павловна. — Ну, возьмем крайний случай, что он покричит на вас, даже если выгонит... Мне то-

же не сладко достается!

— Я готов претерпеть за правду, Раиса Павловна.

— Тем лучше. Я могу уверить вас только в том, что наше дело еще не проиграно. Генерал, конечно, пользуется громадным авторитетом в глазах Евгения Константиныча, но и Альфред Осипыч...

— Ох, Альфред Осипыч... Альфред Осипыч! — стонал Родион Антоныч, хватаясь за голову.

— Главное, не забывайте, что наше дело совсем правое, мы отстаиваем заводские интересы, а Тетюев разводит фантазии.

Настало и роковое «послезавтра». Партия старичков с раннего утра расположилась на крыльце генеральского флигелька в ожидании, когда генерал проснется. Ермило Кожин был настроен особенно угрюмо, Семеныч испытывал некоторое сумление, а Полуехт Вачегин находился, как всегда, в неопределенном настроении духа. Другие старички вздыхали, чесали поясницы и торопливо вскакивали, когда из флигелька выходил кто-нибудь. Братковский прошел мимо них уже

несколько раз, но генерал все еще спал. Июньское горячее солнце было уже высоко и начинало порядком допекать ходоков, но они не чувствовали жара в ожидании предстоявшего объяснения с генералом. Этим скоробленным, зачерствевшим на господской работе людям мерещились те покосы, выгоны и леса, которые у них оттягал Родька Сахаров и которые они должны получить, потому что барину стоит сказать слово... Вот ужо генерал все разберет!..

Наконец генерал проснулся. Лакей провел ходоков прямо в кабинет, где генерал сидел у письменного стола с трубкой в руках. Пред ним стоял стакан крепкого чая. Старички осторожно вошли в кабинет и выстроились у стены в смешанную кучу, как свидетели на допросе у следователя.

— Читал я ваше прошение, мужички, — заговорил генерал, пуская клубы дыма. — Да вы садитесь.

Генерал указал на кушетку и несколько венских стульев, но мужички отказались наотрез, «свои ноги есть, постоим, ваше высокопревосходительство...» Ходокам нравилось

солдатское лицо генерала, потому строгий генерал, справедливый, выходит. Громкий голос и уверенные манеры тоже говорили в его пользу.

— На тебя вся надежда... — заговорили ходоки, бухая в ноги.

— Встаньте, встаньте! Я не бог, чтобы мне кланяться в землю.

— На тебя вся надежда! — галдели мужики, подымаясь с полу.

— Я постараюсь сделать для вас все, что от меня зависит. Но я должен предупредить вас, что для меня одинаково дороги как ваши интересы, так и интересы заводовладельца...

— Уж это известно... на совесть...

Генерал заговорил об уставной грамоте и о тех недоразумениях, какие возникли по поводу ее между заводским населением и заводоуправлением. По мнению генерала, обе стороны по-своему были правы и не правы. Чтобы выяснить свою мысль, он начал объяснения с того, что такое заводы, заводовладелец и заводский рабочий. Заводы не походят на другие частные предприятия и ремесла, в которых большею частью связаны интересы

очень ограниченного числа лиц. На заводах же переплелись в крепкий узел интересы тысяч людей, поэтому говорить о моем и твоем здесь нужно особенно осторожно. Если польза заводовладельца тесно связана с благосостоянием десятков тысяч, то его убытки еще теснее связаны с их судьбой, поэтому нужно быть справедливым одинаково к обеим заинтересованным сторонам. Что такое заводовладелец по существу? Это человек, который на свой страх ведет миллионное предприятие, которое не только должно давать работу десяткам тысяч рабочих и доход ему лично, но еще должно приносить пользу всему государству. Это раз. Что такое заводский рабочий? Человек, который трудом своих рук снискивает себе пропитание на заводской работе. Отсюда: от благосостояния заводов одинаково зависит и участь заводовладельца и участь рабочих. Заводское дело — живое дело, в котором рука руку моет, а заводы являются живым связующим звеном между фамилией заводовладельца и целым рядом поколений рабочих. Отсюда понятно, что заводы одинаково дороги всем, и в общей громадной

работе не пропадает бесследно ни одна крупица труда.

— Я сам работаю теперь для заводов, — продолжал генерал, отхлебывая чай из стакана. — И я горжусь своей работой потому, что в виду имеется польза десятков тысяч рабочих. Но мне кажется, что между рабочими и заводоуправлением по поводу уставной грамоты возникло просто недоразумение, стороны не выяснили своих взаимных отношений. Вы добиваетесь расширения своих земельных наделов, забывая, что главная задача заводского рабочего — работа на заводской фабрике, в руднике или курене. Так ли я говорю?.. Чтобы выяснить, что вы можете требовать, я сейчас определил вам понятия завода, заводовладельца и заводского рабочего.

От этих общих понятий и определений генерал перешел к частностям, то есть принялся разбирать пункт за пунктом все спорные вопросы уставной грамоты и те требования, какие были изложены в «бумаге». Пока речь генерала вертелась на общей почве, мужички кряхтели, вздыхали и потели, не понимая десятого слова из этой лекции, но когда он заго-

ворил о кровных мужицких интересах, ходоки навострили уши и отлично поняли все, что им было нужно. Генерал пока ничего еще определенного не высказал, но, видимо, он был уже против некоторых требований, так как они шли вразрез с интересами заводов.

— Нет, это ты, ваше превосходительство, неправильно говоришь, — отрезал Ермило Кожин, когда генерал кончил. — Конечно, мы люди темные, не ученые, а ты — неправильно. И насчет покосу неправильно, потому мужику лошадь с коровою первое дело... А десятинки две ежели у мужика есть, так он от свободности и пашенку распашет — не все же на фабрике да по куреням болтаться. Тоже вот насчет выгону... Наша заводская лошадь зиму-то зимскую за двоих робит, а летом ей и отдохнуть надо.

— Да ведь это все оговорено в уставной грамоте?

— Оно оговорено... это точно, что оговорено, ваше высокопревосходительство, — заговорил Семеныч, давил Кожину передохнуть, — только нам тошнехонько от этой грамоты. Ведь ее писал Родивон Аитоиыч.

— Какой Родион Антоныч?

— Ну, секлетарь у Платона Васильича, выходит... Он все и наладил. Такую сухоту напустил нам всем... Потому как он сам заводский и все знает; знает, где и мужика прижать... Разе мы от работы заводской отпираемся, — никогда!.. А ты нам дай угодье — мужик будет справный, вдвое сробит барину-то. А теперь, бают, все от конторы пойдет, по уставной-то грамоте: захочет контора — даст тебе покос, не захочет — шабаш. Уж это не порядок, ваше высокопревосходительство... Когда мы господские-то были, так барину не рука была нас обижать, а теперь мы — отрезанный ломоть. Сами должны промышлять о своей голове.

Генералу хотелось узнать из первых рук, чего добиваются рабочие, чтобы оценить по достоинству их требования. Но пока он убедился только в том, что, несмотря на все усердие ходоков, понять их было очень трудно. Они путались, перебивали друг друга и совсем не могли связно и последовательно развивать отдельные мысли. Необходимо было сначала привыкнуть к мужицкой терминологии, а потом уже толковать с ними. Первое

впечатление из двухчасовой беседы как-то двоилось: с одной стороны — мужики как будто были и правы, а с другой — как будто не правы. Очевидно было только то, что свои интересы они будут отстаивать из последнего, следовательно, необходимо дело вести крайне осторожно, чтобы не подавать повода к лишним надеждам и новым недоразумениям.

— Теперь я слышал от вас сам, что вы желаете, — говорил генерал, — читал ваше прошение. Мне нужно еще недели две, чтобы хорошенько разобрать ваше дело, а там опять побеседуем... Могу пока сказать только одно: что барин вас не обидит.

Мужички опять всей гурьбой повалились в ноги и заговорили:

— На тебя вся надежа, ваше высокоблагородие... Не оставь нас своей милостью, ослобони от прижимки.

— Хорошо, хорошо... Только я не люблю, когда в землю кланяются: я не бог.

— А ты, ваше высокоблагородие, не слушай Родивона-то Антоныча — от него вся прижимка вышла... Уж он нам такого сахару

насыпал!

Генерал, чтобы успокоить мужичков, записал в памятную книжку фамилию секретаря Платона Васильича и еще раз пообещал разобрать дело по-божески, а потом представить его на усмотрение самому барину, который не обидит мужичков, и т. д.

Вечером этого же дня генерал послал за Родионом Антонычем, который и явился в генеральский флигель с замирающим сердцем. Генерал принял его сухо, даже строго. Наружность Родиона Антоныча произвела на него отталкивающее впечатление, хотя он старался подавить в себе это невольное чувство, желая отнестись к секретарю Горемыкина вполне беспристрастно.

— Не желаете ли вы дать некоторые объяснения по составлению уставной грамоты, — приступил генерал прямо к делу. — Я уже говорил с мужиками.

«Началось», — подумал Родион Антоныч, делая кислую гримасу.

— Я должен вам объяснить, что недоразумения, вызванные уставной грамотой, вызвали и настоящую поездку Евгения Константи-

ныча на заводы. Он требует, чтобы это дело было покончено раз навсегда и чтобы на его имени не было ни одного пятна. Я должен предупредить вас, что вообще все это дело об уставной грамоте мне крайне не нравится. Чтобы не быть голословным, я объясню, почему. Во-первых, оно всегда могло быть кончено путем взаимных уступок, миролюбиво; затем, поведение кукарского заводоуправления вызвало недоверие и враждебное к себе отношение рабочих; наконец вся эта история слишком дорого стоит как рабочим, так и заводовладельцу. Надеюсь, что я выражаюсь достаточно ясно... А главное, чего я никак не могу себе объяснить, — кукарское заводоуправление точно поставило себе задачей постоянно раздражать рабочих и этим подготовляло те взаимные недоразумения, какие на официальном языке носят название бунтов. С своей стороны я глубоко убежден, что ни вы, ни кто другой из участников в редакции уставной грамоты не давал себе отчета в той громадной ответственности, какую вы так самоуверенно, — чтобы не сказать больше, — возлагали на себя... Вероятно, вы слыхали, чем кон-

чаются такие бунты? Несколько погубленных жизней, громадные материальные убытки для обеих сторон — и никому пользы... Это самый ложный и глубоко несправедливый путь, и я могу сказать вам от имени Евгения Константиныча, что он никогда и ничего подобного не желал, не желает и не может желать. В настоящем случае я буду действовать от его имени, со всеми полномочиями.

Такое грозное вступление не обещало ничего доброго, и Родион Антоныч совсем съежился, как человек, поставленный на барьер, прямо под дуло пистолета своего противника. Но вместе с тем у него мелькало сознание того, что он является козлом отпущения не за одни свои грехи. Последнее придавало ему силы и слабую надежду на возможность спасения.

— Ваше превосходительство! я, конечно, маленький человек... даже очень маленький, — заговорил дрогнувшим голосом Родион Антоны? — и мог бы сложить с себя всякую ответственность по составлению уставной грамоты, так как она редактировалась вполне ответственными по своим полномо-

чиям лицами, но я не хочу так делать, потому что, если что и делал, так всегда старался о пользе заводов... В этом вся моя вина, ваше высокопревосходительство. И я могу желать только одного: чтобы вы отнеслись вполне беспристрастно к делу. Вы желаете пользы заводам и должны убедиться, что рабочие ошибаются, предъявляя ни с чем несообразные требования.

Генерал внимательно слушал эту не совсем правильную речь и про себя удивился уму Родиона Антоныча, относительно которого он уже был предупрежден Ниной Леонтьевной, а также и относительно той роли, какую он играл у Раисы Павловны. Этот кукарский Ришелье начинал его интересовать, хотя генерал не мог преодолеть невольного предубеждения против него.

Игра втемную началась. Каждая сторона старалась сохранить за собой все выгодные стороны своей позиции, и генерал скоро почувствовал, что имеет дело с очень опытным и сильным противником, тем более что за ним стояла Раиса Павловна и отчасти Прейн. Из объяснений Родиона Антоныча он вынес

на первый раз очень немного, потому что дело требовало рассмотрения массы документов, статистического материала и разных специальных сведений.

— Если позволите, я вам представлю по этому делу подробную докладную записку, ваше высокопревосходительство, — говорил Родион Антоныч.

— А это не затянет наших занятий? — спросил генерал, пытливо глядя на своего противника.

— Никак нет-с... — ответил Родион Антоныч, вынимая из бокового кармана своего сюртука довольно объемистую рукопись. — Я заранее приготовил ее, ваше превосходительство.

Перекинув несколько листов четко переписанной докладной записки, генерал сухо проговорил:

— Хорошо, мы еще увидимся с вами.

Глава 19

По исстари заведенному порядку заводовладелец давал официальный бал, на котором он обыкновенно знакомился со всем заводским обществом. Все приготовления к балу были кончены еще до приезда Лаптева; поэтому оставалось только назначить день, который и был выбран. Собственно, такие балы для слабой половины человеческого рода были единственным случаем, когда они имели возможность показать себя. Понятное дело, что главными действующими лицами здесь явились не жены и дочери мелких служащих, а представительницы заводского beau monde'a, более строгого и исключительного, чем всякий другой beau monde, что служит характеристической чертой провинциальных нравов вообще. В столичных центрах городская жизнь кипит ключом, разница общественного положения сглаживается, по крайней мере, в проявлениях чисто общественной жизни, а в провинции таких нивелирующих обстоятельств не полагается, и перегородки между общественными группами почти

непроницаемы, что особенно чувствуется женщинами, живущими слишком замкнутой жизнью, подобно тому как размещаются в музеях и зверинцах животные разных классов и порядков.

Понятное дело, что такое выдающееся событие, как бал, подняло страшный переполох в женском заводском мирке, причем мы должны исключительно говорить только о представительницах beau monde'a, великодушно предоставивших всем другим женщинам изображать народ, — другими словами, только декорировать собой главных действующих лиц. Если представители мужского beau monde'a, по деловым своим сношеням, по необходимости, становятся в близкие отношения к рядовым заводским служащим, не отмеченным перстом провидения, и принимают их у себя дома, как своих людей, то этого нельзя сказать относительно женщин. Здесь малейшее преимущество, каждый лишний рубль в жалованье мужа создает непроходимые преграды. Если, например, Родион Антоныч и другие заслуженные дельцы являлись своими в управительском кружке и по-

являлись даже на завтраках Раисы Павловны, то жене Родиона Антоныча, как существу низшего порядка, нельзя было и думать о возможности разделять общественное положение мужа.

Бал вызвал на сцену, кроме уж известных нам дам и девиц, целую плеяду женских имен: m-me Вершинина, тонкая и чахоточная дама, пропитанная бонтонностью; m-me Сарматова с двумя дочерьми, очень бойкая особа из отряда полковых дам; m-me Буйко, ленивая и хитрая хохлушка, блиставшая необыкновенной полнотой плеч и черными глазами; m-me Дымцевич, из польских графинь, особа с гонором; m-me Кашина с дочерью, представлявшая собой исключение в этой типичной группе как завзятая раскольница, находившаяся в периоде перерождения на дворянскую ногу управительского мирка, и т. д. Весь этот рой женщин, существование которого было совсем незаметно в мирное время, теперь выступил во всеоружии своих женских желаний, надежд и домогательств. Они тоже имели право на самостоятельное существование и теперь заявляли это право в самой рельеф-

ной форме, то есть под видом новых платьев, дорогих кружев, бантов и тех дорогих безделушек, которые так красноречиво свидетельствуют о неизлечимом рабстве всех женщин вообще. Нужно ли говорить о том, какая борьба закипела на этом ограниченном поле сражения. M-me Дымцевич выписала себе специально платье для этого бала из Варшавы, m-me Буйко и m-me Тетюева ограничились Петербургом, m-me Вершинина — Москвою и т. д. Едва ли генералу Блинову были известны те сравнительные методы исследования, какие проявили кукарские дамы на изучение, распланировку и применение своих бальных костюмов. Никакой химик не достиг, вероятно, такой точности в своей работе, и величайшие математики позавидовали бы смелому полету воображения. Для философа оставался неразрешимым вопрос о том, для какой цели затрачивался такой громадный запас энергии, если в мировой системе не пропадает даром ни один атом материи, ни один штрих проявившейся тем или другим путем мировой силы... Зачем? куда? для чего? И все это с единственной целью покружиться несколько

часов и унести с собой свои тряпицы, как уносит бабочка помятые крылья.

Между тем виновник этой суеты сует проводил время в обществе клевретов и приспешников самым загадочным образом, точно он серьезно подготовлялся к чему-нибудь решительному, набирая силы. Дело в том, что Прейн серьезно взялся за дело и повел его опытной рукой. У генерала было несколько серьезных разговоров с Евгением Константинычем, причем подробно обсуждались разные дела, а главным образом вопрос об уставной грамоте. Прейн принимал иногда участие в этих беседах и осторожно выводил линию Тетюева, то есть в этом случае соглашался с генералом, который, конечно, как и многие другие ученые мужи, совсем не подозревал, в какую игру он играет.

— Меня это дело начинает занимать, — говорил Лаптев. — И, как мне кажется, настоящий состав заводоуправления не вполне удовлетворяет необходимым требованиям... Как вы думаете, генерал?

— Я полагаю, что вам лучше всего будет выслушать мастеровых лично, — отвечал ге-

нерал, — это будет спокойнее и для них.

— И, кроме того, можно выслушать мнение других лиц, компетентных в этом деле, — прибавил Прейн. — По моему мнению, Евгений Константиныч, следует составить маленькую консультацию, с участием людей посторонних, близко знакомых с этим делом, но не заинтересованных в нем.

Лаптев с удивлением слушал Прейна, который, против своего обыкновения, сегодня говорил серьезно, что с ним случалось крайне редко, так что его повелитель имел полное право удивляться. Генерал тоже имел свои основания не понимать Прейна, хотя и знал его сравнительно еще очень недавно. Но, вероятно, всех больше удивился бы и даже пришел бы в священный ужас наш уважаемый Родион Антоныч, если бы имел удовольствие слышать настоящий разговор, когда Прейн выдавал Раису Павловну вместе с ее Ришелье прямо на растерзание «компетентных, но не заинтересованных в этом деле лиц».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Лаптев Прейна, обращаясь с ним на «вы», что можно было объяснить только его безгранич-

ным удивлением.

— Я уже сказал, что, по моему мнению, не дурно бы составить маленькую консультацию из специалистов, — повторил Прейн. — А на помощь к ним можно будет пригласить в качестве нейтрального элемента председатели здешней земской управы господина Тетюева... Он, кстати, кажется, теперь живет на заводах.

— Что-то знакомая фамилия? — спрашивал Лаптев. — Я точно где-то ее слышал...

— О, конечно, слышали сотни раз! Отец настоящего Тетюева был вашим главным управляющим до Горемыкина.

— Да, да... Горемыкин мне нравится, — в раздумье проговорил Лаптев. — Конечно, он почти слеп и плохо слышит, но он, кажется, честный человек... Как вы полагаете, генерал?

— Относительно Платона Васильича или господина Тетюева?

— Относительно обоих.

— О господние Тетюеве ничего не могу вам сказать, кроме того, что могу положиться на рекомендацию Альфреда Осипыча, который

более меня знаком с заводами. А что касается Платона Васильича, я не отрицаю, что это безусловно честный человек, но в таком громадном предприятии, как заводское дело, кроме честности, нужно много кое-чего другого, чего, как я начинаю думать, Платону Васильичу недостает... Я скажу прямо, Евгений Константиныч: Платон Васильич, как все добрые люди, позволяет себя водить за нос разным пройдохам и доморощенным дельцам и смотрит на дело из вторых рук. Так что мы отчасти обязаны ему затруднениями и хлопотами по составлению уставной грамоты.

— Я тоже согласен с мнением генерала, — присоединил свой голос Прейн. — Если бы заменить Платона Васильича кем-нибудь другим, заводы много выиграли бы от этого, и чем я окончательно начинаю убеждаться.

Преследуя свою цель, Прейн забежал вперед генерала и предупредил то, что тот хотел высказать только после известной подготовки.

Этот серьезный разговор как раз происходил перед самым балом, когда Евгений Константиныч, одетый, завитой и надушенный,

был уже совсем готов показаться в приемных залах господского дома, где с подавленным шорохом гудела и переливалась цветочная живая человеческая масса. Перед самым выходом к гостям генерал конфиденциально сообщил Прейну, что Нине Леонтьевне что-то сегодня нездоровится.

— Ага! — проговорил Прейн, делая нетерпеливый жест плечами.

— Она едва ли покажется вечером и просила меня извиниться за нее.

Прейн улыбнулся про себя. Нина Леонтьевна больна, значит, Раиса Павловна будет на балу... «О женщины, женщины!..» Известие о болезни Нины Леонтьевны не особенно огорчило Евгения Константиныча, который желал теперь познакомиться с провинциальными красавицами.

Появление Лаптева на балу, где собралось публики до двухсот человек, вызвало подавленную тишину, которая охватила все залы разом. Едва успел Евгений Константиныч сделать несколько шагов, как его засыпали рекомендациями. Мужья церемониальным шагом подводили своих жен, рекомендовали их,

улыбались с смущенным достоинством и ретировались, уступая место другим парам, жаждавшим чести представиться самому «подателю светов». Таким образом продефилировали четы Майзелей, Вершининых, Дымцевич, Буйко и т. д. Евгений Константиныч с утонченной вежливостью подавал свою руку дамам и по-французски повторял стереотипные приветственные фразы, удивляясь их свежести, красоте, молодости и другим достоинствам. Сиреневое платье m-me Дымцевич, гранатное m-me Вершининой, небесно-голубое шелковое m-me Майзель, цвета свежескошенного сена m-me Буйко и какого-то необыкновенного канареечного цвета m-me Сарматовой произвели свой эффект, переливаясь в глазах Евгения Константиныча всеми цветами солнечного спектра. Девицы явились в самых бледных тонах, как слабое отражение своих maman, или совсем в белых платьях. Чадолюбивые мамаши, конечно, постарались обнажить все, что допускали общественные приличия, но Евгений Константиныч на своем веку видел столько голых плеч и рук, что его трудно было удивить. Прейн улыбался,

сыпал любезностями и все что-то отыскивал глазами в переливавшейся кругом толпе.

— Моя жена, Раиса Павловна... — послышался голос Платона Васильича, который должен был представиться первым, но, по своей рассеянности, попал в последние.

— Очень рад, очень рад... — бормотал Евгений Константиныч, любезно подавая руку Раисе Павловне, которая остроумно и непринужденно извинилась за свою болезнь.

Прейн критически оглядел Раису Павловну и остался его доволен. Вечером в своем платье «цвета медвежьего уха» она была тем, чем только может быть в счастливом случае женщина ее лет, то есть эффектна и прилична, даже чуть-чуть более. При вечернем освещении она много выигрывала своей статной фигурой и смелым типичным лицом с взбитыми белокурыми волосами.

— Могу пригласить вас на вальс? — говорил Евгений Константиныч, обязанный открыть танцы.

Полилась с хор музыка, и пары полетели одна за другой, смешавшись в цветочный вихрь, где людей из-за волновавшейся разно-

цветной материи трудно было различить. Приличные «почти молодые люди» отличались особенным усердием, работая ногами с изумительным искусством. Прейн отыскал m-lle Эмму и кружился с ней, нашептывая что-то ей на ухо. Анниника танцевала с Братковским, совсем распустившись у него на руках, «как подкошенный цветок». Она не танцевала, а летала по воздуху, окрыленная чувством, и смотрела на своего улыбавшегося уверенной улыбкой кавалера глазами, полными негой.

— Теперь я могу вас познакомить с нашими красавицами, — говорила Раиса Павловна, когда Евгений Константиныч выводил ее из кружившейся толпы.

Раиса Павловна подвела своего кавалера к Наташе Шестеркиной и m-lle Канунниковой. Потом той же участи подверглись Анниника и m-lle Эмма. По лицу Евгения Константиныча Раиса Павловна сразу заметила, что ее придворные красавицы не произвели на него никакого впечатления, хотя открытые плечи Наташи Шестеркиной могли выдержать самую строгую критику.

— Ах, чуть не забыла! я представлю вам еще одну молоденькую барышню, — спохватилась Раиса Павловна, проталкиваясь с своим кавалером в следующую комнату, где на голубом шелковом диванчике сидела Луша в обществе Кормилицына.

— Вот. Гликерия Витальевна... — равнодушно проговорила Раиса Павловна, чувствуя, что у ней за плечами улыбается довольной улыбкой Прейн.

Луша поднялась с своего диванчика и неловко подала руку Евгению Константинычу, который неподвижно, с застывшей улыбкой на губах, смотрел на ее белое кисейное платье, на скромно открытые плечи, на несложившиеся руки с розовыми локтями, на маленькую розу, заколотую в темной волне русых волос. Девушка была хороша, она сознавала и чувствовала это и спокойно перенесла бесцеремонный, усталый взгляд. Ее молодое лицо было серьезно и тихо освещалось уверенным взглядом ее прекрасных карих глаз. Прейн, прищурившись тоже смотрел на нее, как смотрели другие, и под этим перекрестным огнем удивленных взглядов она

оставалась такой же спокойной и уверенной в себе, как в первый момент. Раиса Павловна задыхалась от волнения, чувствуя, как вся кровь хлынула ей в голову: этот момент был самым решительным, и она ненавидела теперь Прейна за его нахальную улыбку, за прищуренные глаза, за гнилые зубы.

Евгений Константиныч пригласил Лушу на первую кадриль и, поставив стул, поместился около голубого диванчика. Сотни любопытных глаз следили за этой маленькой сценой, и в сотне женских сердец закипала та зависть, которая не знает пощады. Мимо прошла m-me Майзель под руку с Летучим, потом величественно проплыла m-me Дымцевич в своем варшавском платье. Дамы окидывали Лушу полупрезрительным взглядом и отпускали относительно Раисы Павловны те специальные фразы, которые жалят, как укол отравленной стрелы.

— Ничего, вы хорошо ведете свои дела! — говорил Прейн, когда Раиса Павловна шла с ним под руку.

— Не понимаю.

— А я отлично понимаю! Чертовски краси-

вая девочка, и я только могу удивляться, где вы могли отыскать такую.

— Еще раз не понимаю вас, — сухо ответила Раиса Павловна по-французски. — Чему вы улыбаетесь?

Прейн ничего не ответил, а только чмокнул губами. Раиса Павловна окончательно возненавидела этого человека, который совсем не хотел и не мог ее понять.

— А мы вас сегодня решили сменить, — с улыбкой заметил Прейн. — Только еще не решили, кого выбрать на место Платона Васильича. Генерал уважает его как честного человека, но что-то имеет против него...

— Это старая новость.

— Да? Я с своей стороны предложил пригласить Тетюева в качестве консультанта.

— Вы с ума сошли, Прейн?!..

— О, совсем напротив... Я иду прямо к цели. Ага! посмотрите, как Евгений Константиныч идет на вашу удочку!

В это время мимо них прошел Лаптев; он вел Лушу, отыскивая место для кадрили. Девушка шла сквозь строй косых и завистливых взглядов с гордой улыбкой на губах.

Раиса Павловна опять испытывала странное волнение и боялась взглянуть на свою любимицу; по восклицанию Прейна она еще раз убедилась в начинавшемся торжестве Луши.

— Что с вами? — удивился Прейн, взглянув на побледневшее лицо своей дамы.

— Так... пройдет. Вы не поймете меня...

— Тайна? — насмешливо спросил Прейн.

— Да... для вас.

Раиса Павловна издали все время старалась наблюдать за Лушей, пока шла первая кадриль. Танцевала Луша безукоризненно, с какой-то строгой грацией.

— На следующую кадриль я могу вас пригласить? — спрашивал Евгений Константиныч свою даму.

— Нет... Я танцую с доктором.

— А следующую за этой следующей?

— Хорошо.

Лаптев передал Лушу на руки Раисы Павловны, и они втроем болтали с полчаса на том же голубом диванчике, где Луша сидела с доктором. Лаптев заметно оживился, и на его дряблых щеках показался слабый румянец;

он говорил комплименты, острил и постоянно обращался к Раисе Павловне, как к третейскому судье. Раиса Павловна пустила в ход все свои знания светской жизни, чтобы сделать незаметным то расстояние, которое разделяло Лушу от подержанного молодого магната. При ее помощи Луша могла показаться с своей лучшей стороны и отвечала на любезности своего кавалера с остроумной находчивостью.

— Знаете, Гликерия Витальевна, что я подумал, когда в первый раз увидел вас? — говорил Лаптев дружеским тоном. — Угадайте!

— Очень просто. Вы думали: какие эти провинциальные девицы скучные, не отличишь одну от другой.

— Ах, нет... Я подумал, что можно ли быть красивой так... так бессовестно!.. Ведь это несправедливо со стороны природы — наделить одну всеми дарами в ущерб остальным...

— Вы не обидитесь, Евгений Константиныч, если я скажу одну маленькую правду? — с лукавой улыбкой спросила Луша.

— Нет... Я никогда не мог бы рассердиться на вас.

— Зачем вы говорите со мной в таком тоне, как говорят пехотные офицеры, когда хотят рассмешить провинциальную барышню...

— О, вот вы какая злая!.. — засмеялся Лаптев.

Раиса Павловна незаметно удалилась, предоставив молодых людей самим себе. Теперь она была уверена за Лушу. А Луша в это время с оживлением рассказывала, с каким нетерпением все ждали приезда заводовладельца, и представила в самом комическом свете его въезд в господский дом.

— Вы не знаете, кто стоял тогда во втором этаже господского дома, второе окно слева? — спрашивал Лаптев. — О, я тогда же заметил вас... Ведь это были вы? Да?

Луша засмеялась и замолчала. Лаптев заложил ногу за ногу, начал жаловаться на одолевавшую его скуку, на глупые дела, с которыми к нему пристает генерал каждый день, и кончил уверением, что непременно уехал бы завтра же в Петербург, если бы не сегодняшняя встреча.

— Я опять начинаю говорить, как пехотный офицер, — смеялся Лаптев. — Но меня де-

лает глупым неожиданное счастье.

— Слишком большое счастье вообще опасно; поэтому мне ничего не остается, как только оставить вас, Евгений Константиныч. Вон мой кавалер меня отыскивает.

— Доктор?

— Да.

— Вы позволите мне ему позавидовать? Он, кажется, пользуется особенными преимуществами...

— Да. Доктор — мой жених.

Лаптев с ленивой улыбкой посмотрел на подходившего Яшу Кормилицына и долго провожал Лушу глазами, пока она не скрылась в толпе, опираясь на руку своего кавалера.

— Каков бесенок? — спрашивал по-английски точно вынырнувший из-под земли Прейн.

— Странно, что она совсем не походит на других, — заметил Лаптев, зевая.

— Это воспитанница Раисы Павловны, — объяснил Прейн, засовывая руки в карманы.

— А вы не знаете, кто эта девушка?

— Гликерия Витальевна?

— Да. Дьявольски мудреное имя, нужно язык переломить пополам, чтобы выговорить его. Кто она такая?

— Дочь инспектора школ... Товарищ генерала по университету, по фамилии Прозоров.

— Ага!

Раиса Павловна не упускала Лаптева из вида все время, пока он разговаривал с Прейном. Она заметила, как m-me Дымцевич несколько раз прошла мимо них, волоча свой шелковый трен; потом то же самое проделали — m-me Майзель и m-me Вершинина. Ясное дело, что они добивались приглашения Евгения Константиновича и не получили его. «Этакие дурищи!» — со злостью думала Раиса Павловна, меряя своих врагов с ног до головы. Она торжествовала, упоенная успехом своей Луши, и не замечала, как Анниника совсем прильнула к Братковскому, а m-lle Эмма слишком долго разговаривала в темном уголке с Перекрестовым.

Бал кипел. В комнатах подальше толпились мелкие служащие, наблюдавшие Лаптева только издали. Некоторые для смелости успели подвыпить, и женам стоило большо-

го труда удержать их на месте, подальше от управителей. Мимо Раисы Павловны прошли Майзель и Вершинин и злобно посмотрели на нее, потом торопливо пробежал Родион Антоныч, походивший в своей черной паре на хомяка. Он издали раскланялся с Раисой Павловной и молча указал глазами на Лаптева, который отыскивал Лушу. Да, это была крупная победа, и Раиса Павловна не могла удержаться, чтобы не подумать: «А, господа, что, взяли!..»

— Царица Раиса... несравненная из несравненных! — послышался около нее разбитый голос Прозорова, заставивший ее вздрогнуть.

— А вы как сюда попали? — сухо спросила его Раиса Павловна, не подавая руки. — И уж, кажется, готов... Господи! как от вас водкой разит.

— Это только одна внешность, царица Раиса! — бормотал Прозоров заплетавшимся языком. — А душа у меня чище в миллион раз, чем... Видели генерала Мирона? Ха-ха... Мы с ним того... побеседовали... Да-а!.. А где Луша?

— Она с доктором танцует.

— Ну, пусть ее срывает цветы удоволь-

ствия в свою долю... Яшка — славный парень... Царица Раиса! а мы с вами не пустимся в кадриль?

— Нет, благодарю вас... Наша кадриль давно протанцована. Ах, уйдите, пожалуйста! Сюда идет Евгений Константиныч...

Родион Антоныч заметил осадное положение Раисы Павловны и поспешил к ней на выручку. Он подхватил Прозорова под руку и потащил его в буфет.

— Родька, ведь ты настоящий Иуда Искариотский! — бормотал Прозоров. — И, наверно, тридцать сребреников в кармане у тебя шевелятся... Ведь шевелятся? Постой, это с кем Лаптев идет... Ведь это моя Лукреция!.. Постой, Иуда, я ее уведу домой... Раиса Павловна сказала, что она танцует с Яшкой.

Родион Антоныч загородил дорогу порывавшемуся вперед Прозорову и, мягко обхватив его в свои объятия, увлек к буфету. Прозоров не сопротивлялся и только махнул рукой. В буфете теперь были налицо почти все заговорщики, за исключением доктора и Тетюева. Майзель, выпячивая грудь и внимательно рассматривая рюмку с каким-то мудреным

ликером, несколько раз встряхивал своей коротко остриженной седой головой.

— Я говорил, что нужно действовать быстро и решительно, — говорил Майзелю подвыпивший Сарматов. — Вот теперь и пеняйте на себя, что тогда меня не послушались...

— Ничего вы не говорили, — обрезал его сердито Вершинин. — Это у вас воображение разыгралось. Действительно, нам следовало предупредить Раису Павловну, но она оказалась значительно нас всех умнее...

— Погодите еще, гусей по осени считают! — процедил Майзель.

— Если нас принять за гусей, то можно сосчитать и теперь, — говорил Сарматов. — Я говорил, не хотели меня слушать.

Появившийся Прозоров нарушил эту интимную беседу. На него покосились, а Сарматов, схватив за руку, начал поздравлять с «милостью».

— Что-то плохо понимаю... — бормотал озабоченный Прозоров, но потом спохватился и побледнел как полотно.

— Лукерья Витальевна протанцевала уже две кадрили с Евгением Константинычем, —

пояснил Сарматов, подмигивая Вершинину, и многозначительно прибавил: — А знаете, чем дело пахнет, когда сразу протанцуют три кадрили?

Прозоров взглянул на Сарматова какими-то мутными осоловелыми глазами и даже открыл искривившийся рот, чтобы что-то ответить, но в это время благодетельная рука Родиона Антоныча увлекла его к столику, где уже стоял графин с водкой. Искушение было слишком сильно, и Прозоров, махнув рукой в сторону Сарматова, поместился за столом, рядом с Иудой.

— Ну, иудейская закваска, наливай! — ласково шептал Прозоров, улыбаясь блаженной улыбкой. — Вот у меня какой характер: знаю, что ты из подлецов подлец, а не могу тебе отказать...

— Ах, какие вы слова говорите! — с ужасом шептал Родион Антоныч, оглядываясь по сторонам на разговаривавшие кучки служащих.

— Слова... Да, слова говорю... — в раздумье говорил Прозоров, хлопая две рюмки водки. — Тебя царица Раиса приставила ко мне? Ну, не отпирайся... Она боится меня! Тебе,

Иуда, никогда этого не понять...

— А я вам скажу одно, Виталий Кузьмич, — вкрадчиво шептал Сахаров, тоже вкушая единую от трудов праведных, — какая голова у вас, Виталий Кузьмич! Ах, какая голова!.. Если бы к этой голове да другой язык — цены бы вам не было...

— Так, змий-искуситель, так! язык мой — враг мой. Постой, что я тебе скажу... Ах, да... три кадрили...

Выпив рюмку, Прозоров впал в ожесточенное настроение, поправил лихорадочно свои волосы и опять направился было к разговаривавшим управителям.

— Виталий Кузьмич! Виталий Кузьмич!.. — шептал Сахаров, удерживая Прозорова за рукав. — Это дело нужно оставить... Ейбогу, так: оставить. Выпьемте лучше по рюмочке...

— Нет, я им покажу третью кадриль! — горячился Прозоров, пошатываясь на месте. — Эта артиллерийская лошадь добивается хлыста...

— Охота вам руки марать о таких людей, Виталий Кузьмич!

Эта выходка рассмешила Прозорова, и он несколько мгновений пытливо смотрел на своего дядьку.

— Я так полагаю, что умный человек прежде всего должен уважать себя, — продолжал Сахаров. — Особенно человек с высшим образованием... Я вам по совести говорю!

— А ведь у тебя ума палата, Родька! Право... Разбирая строго логически, это не ум, а хитрость, но если хитрость делается дьявольской, тогда ее можно назвать даже умом.

— Какой уж у нас ум, Виталий Кузьмич! Так, бродим в потемках — вот и весь наш ум. Если бы вот высшее образование, тогда другое дело...

Генерал Блинов присутствовал на бале, хотя и не принимал никакого участия в общем веселье, потому что был слишком занят своими собственными мыслями, которые были взбудоражены мужицкой бумагой. Он все время разговаривал с Платоном Васильичем, который среди этой кружившейся легкомысленной толпы чувствовал себя совсем чужим человеком. Поместившись в уголке, эти люди не от мира сего толковали о самых скучней-

ших материях для непосвященного: о пошлинах на привозной из-за границы чугун, о конкуренции заграничных машинных фабрикантов, о той всесильной партии великих в заводском мире фирм с иностранными фамилиями, которые образовали государство в государстве и в силу привилегий, стоявших на стороне иностранных капиталов, давили железной рукой хромавшую на обе ноги русскую промышленность. Платон Васильич понимал все это дело, и генерал с удовольствием слушал, что он вполне разделяет его взгляды, хотя не мог помириться с Горемыкиным как с главным управляющим Кукарских заводов.

— Наша задача — выбить эти фирмы из их позиции, — глубокомысленно говорил генерал. — Мы устроим ряд специальных съездов в обеих столицах, где представители русской промышленности могут обсудить свои интересы и выработать программу совместного действия. Нужно будет произвести известное давление на министерства и повести отчаянную борьбу за свое существование.

К ним подсел Перекрестов и. вслушавшись

в разговор, поспешил, конечно, выразить свое полное сочувствие этим планам и даже предложил свою посильную помощь, насколько он мог быть полезен в качестве представителя русской прессы, задачи которой, и т. д. Генерал заговорил о наших технических выставках, которые служили яркой иллюстрацией того печального положения русских заводов, которое создалось под влиянием сильной иностранной конкуренции. Необходимы были крутые меры и энергический отпор со стороны сплоченной массы русских заводчиков, чтобы вырвать зло с корнем. Все эти машиностроительные заводы из иностранного чугуна, все фабрики иностранных фирм и их склады должны исчезнуть сами собой, вместе с теми субсидиями и гарантиями, какими в настоящую минуту они пользуются от русского правительства.

— Я далек от мысли осуждать промышленную политику правительства вообще, — говорил генерал, разглаживая усы. — Вообще я друг порядка и крепкой власти. Но вместе с тем интересы русской промышленности, загнанные иностранными капиталами в даль-

ний угол, заставляют нас принять свои меры. Кэри говорит прямо...

Перекрестов соглашался, кивал головой и даже вытащил из кармана написанную корреспонденцию с Урала, в которой он вполне разделял взгляды генерала. Русская пресса слишком ценит интересы русского горного дела, чтобы не поднять своего голоса в их защиту. Генерал считал Перекрестова пустым малым вообще, но в этом случае вполне одобрял его, потому что, как хотите, а даже и русская пресса — сила. Он даже пообещал Перекрестову посвятить его в свои планы самым подробным образом, документально, как выразился генерал; Платон Васильич тоже обещал содействовать представителю русской прессы.

— Мы должны высоко держать знамя русских интересов! — патетически восклицал Перекрестов своим гнусавым голосом.

Можно было бы представить себе изумление этих двух простецов, если бы они знали, что Перекрестов — замаскированный агент тех иностранных фирм, в поход против которых собирался генерал Блинов вместе с своим

излюбленным Кэри. Иностранное золото гоняло продажного корреспондента по всему свету, а теперь его миссия заключалась в том, чтобы проникнуть в планы генерала Блинова, поездка которого на Урал серьезно беспокоила немецких, французских и английских коммерсантов, снабжавших Россию железными изделиями. Теперь Перекрестов с удовольствием потирал руки, обдумывая трескучий фельетон в духе генерала, и в то же время он продавал этого генерала своим патронам. Обыкновенно думают, что беспардонные люди, вроде Перекрестова, только смешны — не больше, но это одно из общих печальных заблуждений: из таких маленьких пакостей складывается иногда громадное зло. Кроме разведки по части планов генерала Блинова, Перекрестов еще имел специальное поручение объехать весь Урал, чтобы навести справки о проектируемой здесь сети железных дорог, чтобы вперед обеспечить сбыт вагонов, локомотивов и рельсов иностранного дела. Собранный этим путем материал потом пройдет через горнило передних, черных ходов и тех «узких врат», которыми входят в царство

гешефтов князья икороли русской промышленности.

Раиса Павловна, может быть, одна из всех несколько понимала предательскую натуру Перекрестова и подозрительно следила за ним все время. Ее женский инстинкт досказал то, чего не мог проникнуть генерал с своими широкими финансовыми планами и всей эрудицией. Она пыталась подслушать этот интимный разговор, но Перекрестов уже заметил ее и не поддавался в ловушку. Он хорошо знал, что значат некоторые дамы в деловых сферах, и поэтому побаивался Раисы Павловны, о которой собрал необходимые сведения еще в Петербурге.

А музыка лилась; «почти молодые люди» продолжали работать ногами с полным самоотвержением; чтобы оживить бал, Раиса Павловна в сопровождении Прейна переходила от группы к группе, поощряла молодых людей, шутила с своей обычной откровенностью с молодыми девушками; в одном месте она попала в самую веселую компанию, где все чувствовали себя необыкновенно весело, — это были две беззаботно болтавшие парочки:

Анниника с Братковским и Летучий с m-lle Эммой. Последний был сегодня особенно в ударе и выгружал неистощимый запас самых пикантных анекдотов, заставлявших «галок» хихикать, краснеть и даже закрываться. Это было «немного слишком», но Раиса Павловна смотрела сегодня на все сквозь пальцы, наблюдая только одну Лушу. Она гордилась своим созданием и вынашивала теперь в своей душе самый отчаянный и несбыточный план, который испугал бы даже Прейна, если бы он мог подслушать истинный ход мыслей своей дамы.

— Бал удался... — подчеркивая слова, говорил Прейн. — Вы не можете на него пожаловаться, Раиса Павловна.

— Увидим.

— Посмотрите, какой фурор производит ваша Прозорова... Если бы я был моложе на десять лет, я не поручился бы за себя.

Раиса Павловна начала расспрашивать его о Гортензии Братковской, но Прейн так неловко принялся лгать, что дальнейший разговор продолжать в том же тоне было совершенно излишне.

Бал кончился только к четырем часам утра, когда было уже совсем светло и во все окна радостно смотрело поднимавшееся июньское солнце. Измученная публика потянулась к выходу, унося в душе смутное впечатление недавней суеты. Свечи догорали в люстрах и канделябрах, на полу валялись смятые бумажки от конфет и апельсинные корки, музыканты нагружались в буфете, братаясь с запоздалыми подкутившими субъектами, ни за что не хотевшими уходить домой. Из всей публики осталось только избранное общество, которое получило приглашение к ужину. Дамы были бледны и смотрели усталыми, покрасневшими глазами; смятые платья и разбившиеся прически дополняли картину. Женщины походили на толпу мух, побывавших в меду и запачкавших крылья. Легкомысленная молодость еще продолжала улыбаться, не отдавая себе отчета в происходившем кругом и жалея только о том, что балы не продолжаются вечно. Зато чадолюбивые мамаши сейчас же подвели итоги всему: «галки» остались незамеченными, Канунникова и Шестеркина тоже, Луша вела себя

непозволительно и бессовестно вешалась сама на шею Евгению Константинычу, который танцевал, кроме нее, только с m-me Дымцевич и m-me Сарматовой. Когда у Луши в руках появился букет из чайных роз, негодование дам перешло все границы, и они прямо поворачивались к ней спинами. Раиса Павловна торжествовала, переживая лихорадочное состояние. Она ходила теперь по залам под руку с Лушей, поправляла ей волосы и платье и потихоньку несколько раз поцеловала ее. Сама Луша выглядела усталой, щеки у нее побледнели, но прекрасные глаза смотрели мягким, удовлетворенным взглядом. Раиса Павловна крепко прижимала ее маленькую руку к себе, чувствуя, как из вчерашней девочки возрождается чарующая красавица.

Ужин прошел весело. Сарматов и Летучий наперерыв рассказывали самые смешные истории. Евгений Константиныч улыбался и сам рассказал два анекдота; он не спускал глаз с Луши, которая несколько раз загоралась горячим румянцем под этим пристальным взглядом. M-r Чарльз прислуживал дамам с неизмеримым достоинством, как уме-

ют служить только слуги хорошей английской школы. Перед дамами стояли на столе свежие букеты.

Раиса Павловна была сегодня хозяйкой и вела себя с тактом великосветской женщины; она умела поддержать разговор и несколько раз очень ядовито прошлась насчет «почти молодых людей».

— Ну, что, мой ангел? — спрашивала Раиса Павловна свою любимицу, когда ужин кончился. — Весело тебе было, моя крошка?

— Сначала было весело... — уклончиво ответила Луша, лениво потягиваясь.

Этот ответ заставил улыбнуться опытную Раису Павловну: «мой ангел» хотел быть счастливым один... Желание настолько законное, против которого трудно было что-нибудь возразить.

Глава 20

Через несколько дней после бала Евгений Константиныч сделал визит Раисе Павловне и Майзелю. Это было выдающееся событие, которое толковалось умудренными во внутренней политике людьми различно. Партия Тетюева была крайне недовольна сближением Евгения Константиныча с Раисой Павловной; от такого знакомства можно было ожидать всего, тем более что тут замешалась Луша. В действительности визит Лаптева к Раисе Павловне был самого невинного свойства, и она приняла его даже несколько холодно.

— А где эта… эта ваша родственница? — спрашивал Лаптев, когда по правилам вежливости ему оставалось только уйти.

— Какая родственница? — удивилась Раиса Павловна. — Анниника?

— Нет, не то… Еще такое длинное имя.

— Mademoiselle Эмма?

— Ах, не то.

— Наташа Шестеркина? Канунникова?

— Нет.

Прейн улыбнулся про себя, но предоставил своего высокого покровителя в жертву своему коварному другу.

— Ах, да... — равнодушно припоминала Раиса Павловна. — Вы хотите сказать о Гликерии Виталиевне?

— Да, да. Именно про нее: Гликерия... Гликерия...

— Она немножко больна, Евгений Константиныч. Бал расстроил ее нервы... Ведь она еще совсем девочка, недавно ходила в коротеньких платьицах.

— Отец у ней, кажется, служит на заводах?

— Да. Он тоже не совсем здоров...

Этим разговор и кончился. После Лаптева на Раису Павловну посыпались визиты остальных приспешников: явились Перекрестов с Летучим, за ними сам генерал Блинов. Со всеми Раиса Павловна обошлась очень любезно, памятуя турецкую пословицу, что один враг сделает больше зла, чем сто друзей добра.

После Раисы Павловны и Майзеля Евгений Константиныч отправился в генеральский флигелек навестить больную Нину Леонтьев-

ну. Эта последняя приняла его очень радушно и засыпала остроумным разговором, причем успела очень ядовито пройтись относительно всего кукарского общества. Евгений Константиныч слушал ее с ленивой улыбкой и находил, что болезнь не отразилась на ее умственных способностях в дурную сторону, а даже напротив, как будто еще обострила этот злой мозг.

— Я убежден, — говорил Прейн, когда они возвращались из флигелька, — я убежден, что у этой бабы, как у змеи, непременно есть где-нибудь ядовитая железка. И если бы у ней не были вставные зубы, я голову готов прозакладывать, что она в состоянии кусаться, как змея.

— Но змея очень остроумная, — прибавил Евгений Константиныч, припоминая выходки остроумного урода.

— Да, да...

Сарматов лез из кожи, чтобы угостить набоба любительскими спектаклями и делал по две репетиции в день. С артистами он обращался, как с преступниками, но претензий на директора театра не полагалось, потому что

народ был все подневольный, больше из мелких служащих, а женский персонал готов был перенести даже побои, чтобы только быть отмеченным из среды других женщин в глазах всесильного набоба. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной с ее наливными плечами; Сарматов обращался с ней, как с пожарной лошадью, так что это наивное создание даже плакало за кулисами.

— Пожалуйста, уберите коленки, Наталья Ефимовна! — кричал Сарматов на весь театр, представлявший собой большую казарму, в которой раньше держали пожарные машины. — Можно подумать, что у вас под юбками дрова, а не ноги...

Эта Наташа Шестеркина была очень симпатичная и миловидная девушка, хотя немножко и простоватая. Свежее лицо с завидным румянцем и ласковыми серыми глазами манило своей девичьей красой; тяжелая русая коса и точно вылепленные из алебастра плечи могли нагнать тоску на любого молодца, конечно, не из разряда «почти молодых людей», предпочитающих немного тронувшийся товар. Канунникова тоже была краси-

вая девушка, только в другом роде. Такие типы встречаются в старых раскольничьих семьях. Высокая, с могучей грудью и серьезным лицом, она в русском сарафане была замечательно эффектна, хотя густые соболиные брови и строго сложенные полные губы придавали ей немного сердитый вид. Какая сила выдвинула этих русских красавиц на грязные театральные подмостки, где над ними ломался какой-нибудь прощелыга Сарматов? Имя этой силе — тщеславие... Раиса Павловна отлично умела пользоваться этой человеческой слабостью в своих целях и теперь с свойственным ей бессердечием подвергла двух юниц тяжелому испытанию.

После кровавой битвы с артистами и репертуаром Сарматов, наконец, поставил «Свадьбу Кречинского». В этой пьесе он сам играл Расплюева, и, нужно отдать ему справедливость, играл хорошо, а роль Кречинского обязательно взял на себя Перекрестов. Вместо водевиля шла «Русская свадьба». В день спектакля зала театра, конечно, была битком набита. Набоб заставил себя подождать, и скептики уже начинали уверять, что он уехал на

охоту, но были опровергнуты появлением Евгения Константиныча во фраке и белом галстуке. Во время спектакля он внимательно осматривал зрителей, отыскивая кого-то глазами.

— Раисы Павловны, кажется, нет? — спросил он наконец Прейна.

— Нет... Она немного больна, — ответил Прейн, — Нина Леонтьевна здесь.

Лаптев не досидел до конца спектакля и, послав Наташе Шестеркиной за ее плечи букет, уехал домой.

На следующем спектакле, когда шла «Бедность не порок», Раиса Павловна присутствовала, а Нина Леонтьевна была больна. Даже Евгений Константиныч не мог не заметить такого странного совпадения и спросил Раису Павловну:

— Меня несколько удивляет ваше здоровье, Раиса Павловна. Не отражается ли его состояние на других особах?

— Что вы хотите этим сказать, Евгений Константиныч? — вспыхнула Раиса Павловна, не понимая вопроса.

— О, успокойтесь... Я не имел в виду тех

особ, которые поправляются, а тех, которые постоянно больны.

— Труднобольные, вероятно, найдут себе помощь в докторских советах... Я тут решительно ни при чем.

Этот ответ заставил Прейна улыбнуться.

— Вы очень зло отвечаете, — проговорил Лаптев после короткой паузы. — Я всегда уважаю докторов, за исключением тех случаев, когда они выходят из пределов своей специальности. Впрочем, в данном случае докторские советы должны принести двойную пользу, и мне остается только пожалеть, что я совершенный профан в медицине.

Разговор шел по-французски, и любопытные уши m-me Майзель не могли уловить его, тем более что эта почтенная матрона на русско-немецкой подкладке говорила сама по-французски так же плохо, как неподкованная лошадь ходит по льду. Но имя доктора она успела поймать и отыскала главами Яшу Кормилицына, который сидел в шестом ряду; этот простец теперь растворялся в море блаженства, как соль растворяется в воде, потому что Луша, которая еще так недавно его гнала,

особенно после несчастного эпизода с «маринованной глистой», теперь относилась к нему с особенным вниманием. Доктор каждый день бывал в Прозоровском флигельке и проводил там по нескольку часов. Он натащил туда своих любимых книжек и читал Луше тонким тенориком. Луша обыкновенно слушала его очень внимательно и только раз прервала эти занятия вопросом:

— А вы не знаете английского языка, Яков Яковлич?

Яков Яковлич с грехом пополам читал английские книжки, но не владел секретом английского произношения. Он только мог удивляться, зачем Луше понадобился английский язык. На душе у доктора лежало камнем одно обстоятельство, которое являлось тучкой на его небе, — это проклятый заговор, в котором он участвовал. По всей вероятности, он откровенно исповедался бы во всем Луше, но его удерживало то, что тут была замешана Раиса Павловна, которая распоряжалась Лушей, как завоеванной провинцией. Несколько раз доктор думал совсем отказаться от взятой на себя роли, тем более что во всем этом

деле ему было в чужом пиру похмелье; он даже раза два заходил к Майзелю с целью покончить все одним ударом, но, как все бесхарактерные люди, терялся и откладывал тяжелое объяснение до следующего дня. Заговорщики, по настоянию Майзеля, должны были спешить протестом, но любительские спектакли мешали выбрать подходящий момент. Крайний срок был назначен после второго спектакля, и теперь Яша Кормилицын, сидя в шестом ряду, испытывал неприятные мучения совести, особенно когда в антрактах встречался с Раисой Павловной. Он в сотый раз начинал рассуждать на тему, зачем он согласился произнести протест перед Лаптевым, и в сотый раз находил, что поступил очень глупо.

На другой день после второго спектакля, рано утром, доктор получил записку от Майзеля с приглашением явиться к нему в дом; в post scriptum'e[72] стояла знаменательная фраза: «по очень важному делу». Бедный Яша Кормилицын думал сказаться больным или убежать куда-нибудь, но, как нарочно, не было под руками даже ни одного труднобольно-

го. Скрепя сердце и натянув залежавшийся фрачишко, доктор отправился к Майзелю. Заговорщики были в сборе, кроме Тетюева.

— Господа, я, право, не знаю, сумею ли я... — начал было доктор, но его протест был заглушён взрывом общего негодования.

— По-ря-доч-ные ллюди так не ппо-сту-нают... — цедил Майзель, подступая к самому носу доктора. — Вы хо-ти-те продать нас или уже про-да-ли?..

— Я знаю причину, почему доктор изменяет нам, — заявил Сарматов, находившийся в самом игривом настроении духа. — Выражаясь фигурально, на его уста положила печать молчания маленькая ручка прекрасной юной волшебницы.

Это фигуральное выражение довело общее негодование до последних границ, и доктору ничего не оставалось, как только покрыть свой грех самым строгим исполнением долга.

В час дня, когда просыпался Евгений Константиныч, заговорщики уже были в приемных комнатах господского дома, во фраках, с вытянутыми лицами и меланхолически-задумчивым выражением в глазах. Особенно

хорош был Майзель. Раздувая грудь, как турман, он в последний раз делал внушения доктору, который теперь должен действовать во имя заводов и пятидесятитысячного заводского населения. Вершинин и Сарматов принужденно улыбались, глядя на вялую, точно выжатую фигуру доктора, который глупо хлопал глазами. Дымцевич, как всегда, ощипывался, как воробей перед дождем, а Буйко глухо кашлял. Когда лакей заявил, что Евгений Константиныч встали и принимают, Яша Кормилицын сделал инстинктивное движение к выходным дверям, но его схватила железная рука Майзеля и втолкнула в кабинет набоба. Общее изумление на мгновение всех заставило оцепенеть, когда в кабинете Евгения Константиныча, кроме самого хозяина и Прейна, заговорщики увидали... Прозорова. Да, это был сам Виталий Кузьмич, успевший каким-то чудом протрезвиться и теперь весело рассказывавший набобу что-то, вероятно, очень остроумное, потому что Евгений Константиныч улыбался. Как попал Прозоров в кабинет набоба и вдобавок попал в такое время дня, когда к Евгению Константинычу име-

ли доступ только самые близкие люди или люди по особенно важным делам, — все это являлось загадкой. В глубине кабинета стоял m-r Чарльз, неумолимый и недоступный, как сама судьба; из-под письменного стола выставилась атласная голова Brunehaut, которая слегка заворчала на заговорщиков и даже оскалила свои ослепительно-белые зубы.

Кабинет Евгения Константиныча был меблирован почти бедно: письменный стол черного дерева, такой же диван, два кресла, кушетка, шкаф с бумагами и несколько стульев стоили всего пятьдесят тысяч. Прибавьте к этому макартовскую голую красавицу на стене, великолепную шкуру белого медведя на полу и несколько безделушек на письменном столе — вот и все. Это была временная обстановка, потому что набоб жил, по выражению Прейна, на биваках. Для человека, имевшего пятьсот тысяч годового дохода, такой кабинет граничил с приличной бедностью.

— Чем обязан вашему посещению, господа? — спрашивал Лаптев, поднимаясь навстречу гостям.

Прейн, заложив руки в карманы, едва за-

метно улыбался, покуривая короткую венскую трубочку. Он знал о заговоре через Майзеля и сам назначил день, когда сделать нападение на набоба.

Доктор, подтолкнутый Майзелем, начал свою выученную заранее речь, стараясь не смотреть в сторону Прозорова. В маленьком вступлении он упомянул о тех хороших чувствах, которые послужили мотивом настоящего визита, а затем перешел к самой сущности дела, то есть к коллективному протесту против диктатуры Горемыкина, который губит заводское дело и т. д. Евгений Константиныч слушал эту длинную речь очень рассеянно и все время занимался рассматриванием тощей фигуры доктора, его серо-зеленого лица и длинных, точно перевязанных узлами рук. Прозоров несколько раз улыбнулся и взъерошил себе волосы, а когда доктор кончил, он подумал про себя: «Чистый ты дурак, Яшка!»

— Как мне понять ваше заявление? — спрашивал Евгений Константиныч, обращаясь к оратору. — Как наше личное мнение или как мнение большинства?

— Это наш общий протест, — разом заявили Майзель и Сарматов.

— Хорошо. Я на днях буду иметь объяснение с делегатами от заводских мастеровых, тогда приму во внимание и ваш протест. Пока могу сказать только то, что изложенные вами чувства и доводы совпадают с моими мыслями. Нужно сказать, что я недоволен настоящими заводскими порядками, и генерал тоже, кажется, разделяет это недовольство. Господа, что же это вы стоите? Садитесь...

Но господа наотрез отказались от такой чести и гурьбой пятились к двери.

— Ах, я чуть не забыл... — спохватился Лаптев, делая порывистое движение рукой. — Вот, по мысли Прейна, мы думаем составить маленькую консультацию, куда решились пригласить кого-нибудь из... из знающих дело по посторонним заводам. Так я говорю, Прейн?

— О, совершенно так... Пока выбор пал на Авдея Никитича Тетюева. Вы, господа, можете заявить сейчас же Евгению Константинычу, если что-нибудь имеете против этого выбора.

— Нет, мы ничего не имеем...

— Авдей Никитич совершенно постороннее лицо в этом деле, — процедил с своей стороны Майзель. — И мы доверяем ему, как незаинтересованному в нашем общем деле.

— А вы, доктор, ничего не имеете против Тетюева? — спросил Евгений Константиныч.

— Нет... мне все равно, — протянул тенориком доктор.

— Так как вы явились во главе депутации, — продолжал серьезно Евгений Константиныч, — то не могу ли я попросить вас остаться для некоторых переговоров?

Толпа заговорщиков переглянулась. Никто не ожидал такого оборота дела, но приходилось помириться с желанием набоба.

— Я также попросил бы остаться и господина Сарматова, — прибавил Евгений Константиныч. — А затем не смею вас больше задерживать, господа.

Заговорщики удалились, а доктор и Сарматов остались.

— Садитесь, господа, — пригласил Евгений Константиныч, с серьезным видом раскуривая сигару.

В кабинете наступила тяжелая пауза. Даже

Прейн не знал, что за фантазия явилась в голове владыки и украдкой недоверчиво посмотрел на его бесстрастное лицо с полузакрытыми глазами.

— Доктор! мне нужно, собственно, поговорить с вами, — серьезно продолжал Лаптев. — Меня удивляет ваше поведение... Буду говорить прямо, без церемоний. Я понимаю, зачем приходили другие, но ведь вы, в качестве доктора, нисколько не заинтересованы в наших заводских делах. Затем, вы поднимаете руку... на кого же? Если Раиса Павловна узнает о вашем поведении, вас ожидает самая печальная участь. Кстати, и папаша Гликерии Витальевны налицо, и мы можем семейным образом обсудить ваш образ действий... Не правда ли, «гроза кабанов»?

— Со мной был точно такой же случай, Евгений Константиныч, — заговорил Сарматов, угадавший теперь, зачем набоб оставил их. — У меня была невеста, Евгений Константиныч... Совершенно прозрачное существо и притом лунатик. Раз я сделал донос на одного товарища, и она меня прогнала с глаз долой.

Все засмеялись, а вместе с другими засме-

ялся и доктор, немного опешивший в первую минуту.

— Прежде чем мы будем окончательно решать вашу участь, доктор, мы подкрепим свои иглы, — заговорил Лаптев, довольный своей выходкой. — Чарльз, мы здесь будем пить кофе.

Кофе был подан в кабинет, и Лаптев все время дурачился, как школьник; он даже скопировал генерала, а между прочим досталось и Нине Леонтьевне с Раисой Павловной. Мужчины теперь говорили о дамах с той непринужденностью, какой вознаграждают себя все мужчины за официальные любезности и вежливость с женщинами в обществе. Особенно отличился Прозоров, перещеголявший даже Сарматова своим ядовитым остроумием.

— Итак, мы кутим у вас на свадьбе, доктор? — говорил Лаптев, когда тема о женщинах вообще была исчерпана.

— Я, право, еще не знаю... — смущенно бормотал доктор.

— Ах, как он умеет притворяться! — удивлялся Прейн, хлопая доктора по плечу. — Гликерия Виталиевна гораздо откровеннее вас...

Она сама говорила Евгению Константинычу, что вы помолвлены. Да?

— Ну, Яша, признавайся! — поощрял Прозоров.

Прозорова вытрезвил и притащил к Лаптеву не кто другой, как Прейн. Для чего он это делал — было известно ему одному. Прозоров держал себя джентльменом, точно он родился и вырос в обществе Прейна и Лаптева.

Глава 21

По вечерам в господском саду играл оркестр приезжих музыкантов и по аллеям гуляла пестрая толпа заводской публики. С наступлением сумерек зажигались фонари и шкалики. На таких гуляньях присутствовала вся свита Евгения Константиныча, а сам он показывался только в обществе Прейна, без которого редко куда-нибудь выходил. Само собой разумеется, что если гуляла Раиса Павловна, то Нина Леонтьевна делалась больна и наоборот. Провинциальная публика, как и всякая другая публика, падкая до всевозможных эффектов, напрасно ожидала встречи этих двух ненавидевших друг друга женщин.

Приезжий элемент незаметно вошел в состав собственно заводского общества, причем связующим звеном явились, конечно, женщины: они докончили то, что одним мужчинам никогда бы не придумать. Все общество распалось на свои естественные группы, подгруппы, виды и разновидности. Около m-me Майзель вертелся Перекрестов и Летучий, два секретаря Евгения Константиныча, которым решительно нечего было делать, ухаживали за Наташей Шестеркиной и Канунниковой, пан Братковский бродил с «галками», «почти молодые люди» — за дочерями Сарматова, Прейн любил говорить с m-me Дымцевич и т. д. Сам набоб проводил свое время на гуляньях в обществе Раисы Павловны или Нины Леонтьевны, причем заметно скучал и часто грыз слоновый набалдашник своей палки. Когда устраивались танцы на маленькой садовой эстраде, он подолгу наблюдал танцующие пары, лениво отыскивая кого-то глазами. Все, особенно женщины, давно заметили, что набоб скучает, и по-своему объясняли истинные причины этой скуки.

Евгений Константиныч действительно

скучал, и его больше не забавляли анекдоты Летучего и вранье Сарматова; звезда последнего так же быстро закатилась, как и поднялась. Теперь новинкой в обществе набоба являлся Прозоров, который, конечно, умел показать товар лицом и всех подавлял своим остроумием. Всего интереснее были те моменты, когда Прозоров встречался с Ниной Леонтьевной, этой неуязвимой женщиной в области красноречия. Происходили самые забавные схватки из-за пальмы первенства, и скоро всем сделалось очевидной та печальная истина, что Нина Леонтьевна начинала быстро терять в глазах набоба присвоенное ей право на остроумие. Пьяница Прозоров оказался умнее и находчивее в словесных турнирах и стычках, что, конечно, не могло не огорчать Нины Леонтьевны, которая поэтому от души возненавидела своего счастливого противника. Даже приспешники и прихлебатели встали сейчас же на сторону Прозорова, поддерживая его своим смехом; все знали, что Прозоров потерянный человек, и поэтому его возвышение никому не было особенно опасно. Если могли ревновать к Сарматову, то за участь

Прозорова были все совершенно спокойны; все его величие могло разрушиться, как карточный домик, от одной лишней рюмки водки. Даже Летучий и Перекрестов относились к Прозорову снисходительно, переваривая его неистощимое краснобайство. Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась. Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как Лаптев рано утром возвращался из Прозоровского флигелька.

— Послушайте, Прозоров, где же ваша дочь в самом деле? — спросил однажды Лаптев, когда они сидели после обеда с сигарами в зубах.

— Сидит дома…

— Ага! А доктор часто бывает у вас?

Прозоров засмеялся и только махнул рукой. Странное поведение Луши заинтересовало капризного набоба, за которым ухаживали первые красавицы всех наций. Как! эта упрямая девчонка смеет его игнорировать, когда он во время бала оказал ей такие ясные дока-

зательства своего внимания. Задетое самолюбие досказало набобу остальное, хотя он старался не выдать себя даже перед Прейном. Это новое, почти незнакомое чувство заинтересовало пресыщенного молодого человека, и он сам удивлялся, что не может отвязаться от мысли о капризной, взбалмошной девчонке. Чтобы утешить самого себя, он старался раскритиковать ее в своем воображении, сравнивая ее достоинства по отдельным статьям с достоинствами целого легиона «этих дам» всех наций и даже с несравненной Гортензией Братковской. По необъяснимому психологическому процессу результаты такой критики получались как раз обратные: набоб мог назвать сотни имен блестящих красавиц, которые затмевали сиянием своей красоты Прозорову, но все эти красавицы теряли в глазах набоба всякую цену, потому что всех их можно было купить, даже такую упрямую красавицу, как Братковская, которая своим упрямством просто поднимала себе цену — и только. В нежелании Луши показываться Лаптев видел пассивное сопротивление своим чувствам, которое нужно было сломить во что

бы то ни стало. Иногда набоб старался себя утешить тем, что Луша слишком занята своим доктором и поэтому нигде не показывается, — это было плохое утешение, но все-таки на минуту давало почву мысли; затем иногда ему казалось, что Луша избегает его просто потому, что боится показаться при дневном свете — этом беспощадном враге многих красавиц, блестящих, как драгоценные камни, только при искусственном освещении. Но все эти логические построения разлетались прахом, когда перед глазами Лаптева, как сон, вставала стройная гордая девушка с типичным лицом и тем неуловимым шиком, какой вкладывает в своих избранников одна тароватая на выдумки природа. Собственно говоря, набоб даже не желал овладеть Лушей, как владел другими женщинами; он только хотел ее видеть, говорить с ней — и только. Все ему нравилось в ней: и застенчивая грация просыпавшейся женщины, и несложившаяся окончательно фигура с прорывавшимися детскими движениями, и полный внутреннего огня взгляд карих глаз, и душистая волна волос, и то свежее, полное чувство, которое он

испытывал в ее присутствии.

В душе набоба являлась слабая надежда, что он встретит Лушу где-нибудь — в театре, на гулянье вечером или, наконец, у Раисы Павловны. Но время бежало, а Луша продолжала упорно выдерживать свой характер и не хотела показываться решительно нигде. Прейн и Раиса Павловна делали такой вид, что ничего не понимают и не видят. То, чего добивался Лаптев, случилось так неожиданно и просто, как он совсем не предполагал. Раз утром он возвращался по саду из купальни и на одном повороте лицом к лицу столкнулся с Лушей, которая, очевидно, бесцельно бродила по саду, как это иногда любила делать, когда в саду никого нельзя было встретить. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга одинаково смущенным и нерешительным взглядом. Луша была в простеньком ситцевом платье и даже без шляпы; голова была подвязана пестрым бумажным платком, глубоко надвинутым на глаза.

— Здравствуйте! — нерешительно протягивая руку, проговорил набоб.

— Здравствуйте!

Девушка сделала движение, чтобы продолжать свою прогулку, но набоб загородил ей дорогу и как-то залпом проговорил:

— Послушайте, Гликерия Виталиевна, зачем вы прячетесь от меня?

— Я и не думала ни от кого прятаться, это вам показалось...

— Пусть будет так... Какая ж причина заставляла вас все время сидеть дома?

— Самая простая: не хотелось никуда выходить.

— Только?

Лаптев недоверчиво оглянулся, точно ожидая встретить, если не самого доктора налицо, то по крайней море его тень.

— Да, только! — спокойно подтвердила Луша. — Кажется, достаточно; всякий человек имеет право на такое простое желание, как сидеть дома...

— Вы не искренни со мной...

Девушка улыбнулась. Они молча пошли по аллее, обратно к пруду. Набоб испытывал какое-то странное чувство смущения, хотя потихоньку и рассматривал свою даму. При ярком дневном свете она ничего не проиграла, а

только казалась проще и свежее, как картина, только что вышедшая из мастерской художника.

— Что вам от меня нужно? — спросила Луша, когда они подходили уже к самому пруду.

— Ничего... мне просто хорошо в вашем присутствии — и только. В детстве бонна-итальянка часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастливыми одним своим присутствием, — вот вы именно такая волшебница, с той разницей, что вы не хотите делать людей счастливыми.

— Как красиво сказано! — смеялась Луша. — Только интересно знать, которым изданием выпущена ваша «маленькая фея»?

— Клянусь вам, Гликерия Витальевна, что это самое первое...

— Сегодня?

— С вами невозможно говорить серьезно, потому что вы непременно хотите видеть везде одну смешную сторону... Это несправедливо. А нынче даже воюющие стороны уважают взаимные права.

— Обыкновенная жизнь — самая жестокая война, Евгений Константиныч, потому что

она не знает даже коротких перемирий, а побежденный не может рассчитывать на снисхождение великодушного победителя. Трудно требовать от такой войны уважения взаимных прав и, особенно, искренности.

— Что вы хотите сказать этим?

Луша быстрым взглядом окинула своего кавалера и проговорила с порывистым жестом:

— Вы давеча упрекнули меня в неискренности... Вы хотите знать, почему я все время никуда не показывалась, — извольте! Увеличивать своей особой сотни пресмыкающихся пред одним человеком, по моему мнению, совершенно лишнее. К чему вся эта комедия, когда можно остаться в стороне? До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменила свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке.

— Следовательно, вы должны быть благодарны мне за этот урок?

— Нисколько!

Эта болтовня незаметно продолжалась в том же тоне, причем Луша оставалась одина-

ково сдержанной и остроумной, так что набоб еще раз должен был признать себя побежденным этой странной, капризной девчонкой.

— Надеюсь, что мы будем друзьями? — говорил Лаптев, когда девушка начала прощаться.

Луша с улыбающимся взглядом покачала своей красивой головкой.

— По крайней мере, вы не будете прятаться? — продолжал набоб, делая нетерпеливое движение. — Я раньше думал, что вы так поступали по чужой инструкции...

— Именно?

— А Раиса Павловна?

— Я уважаю Раису Павловну, но это не мешает мне иметь свои собственные взгляды.

— В этом я убедился... Итак, мы еще увидимся?

— Не знаю...

Эта нечаянная встреча подлила масла в огонь, который вспыхнул в уставшей душе набоба. Девушка начинала не в шутку его интересовать, потому что совсем не походила на других женщин. Именно вот это новое и неизвестное и манило его к себе с неотрази-

мою силой. Из Луши могла выработаться настоящая женщина — это верно: стоило только отшлифовать этот дорогой камень и вставить в надлежащую оправу.

Непосредственным следствием этой встречи было то, что в комнате Луши каждый день появлялся новый роскошный букет живых цветов, а затем та же невидимая рука приносила богатые бонбоньерки с конфетами. Только раз, когда Луша открыла одну из таких бонбоньерок и среди конфет нашла обсахаренную сапфировую брошь, она немедленно послала за Чарльзом и возвратила ему и бонбоньерку и запретный плод с приличной нотацией. Оставшись одна, она даже расплакалась и вышвырнула за окно последний букет. Эта арамейская любезность возмутила ее до глубины души, хотя она никому ни слова о ней не сказала. Разве она какая-нибудь «галка», чтобы делать ей такие глупые подарки? Если она позволяла дарить себе цветы и конфеты, то потому только, что они ничего не стоили. Не успело еще улечься впечатление этого неудачного эпизода, как в одно прекрасное утро во флигелек Прозорова набоб сделал

визит, конечно в сопровождении Прейна. Виталий Кузьмич был дома и принял гостей с распростертыми объятиями, но Луша отнеслась к ним довольно сухо. Разговор вертелся на ожидаемых удовольствиях. Предполагалась поездка в горы и несколько охотничьих экскурсий.

— Вы любите ездить верхом? — спрашивал набоб хозяйку.

— Да, очень люблю.

Прейн дурачился, как школьник, копируя генерала и Майзеля; Прозоров иронизировал относительно кукарских дам, заставляя Лаптева громко смеяться.

— Что же вы нас не пригласите напиться чаю? — напрашивался Прейн с своей веселой бессовестностью.

Девушка на мгновение смутилась, вспомнив свою разрозненную посуду, но потом успокоилась. Был подан самовар, и Евгений Константиныч нашел, что никогда не пил такого вкусного чаю. Он вообще старался держать себя с непринужденностью настоящего денди, но пересаливал и смущался. Луша держала себя просто и сдержанно, как всегда,

оставаясь загадкой для этих бонвиванов, которые привыкли обращаться с женщинами, как с лошадьми.

— А где наш общий друг? — спрашивал Прейн, выставляя свои гнилые зубы.

— Какой друг? — удивилась Луша.

— А доктор? Это милый молодой человек, которого я полюбил от души...

— И я тоже, — прибавил Лаптев, делая серьезное лицо. — Мне остается только пожалеть, что в медицине я совсем профан.

Прозоров не упустил, конечно, случая и прошелся довольно ядовито насчет хорошего парня Яшки. Эта сцена не понравилась Луше, и она замолчала. Поболтав с полчаса, гости ушли; в Прозоровском флигельке наступила тяжелая и фальшивая пауза. Прозоров чувствовал, что кругом него творится что-то не так, как следует, но у него не хватило силы воли покончить разом эту глупую комедию, потому что ему нравилась занятая им роль bel-esprit[73] и те победы, которые он одержал над Ниной Леонтьевной. Конечно, Лаптев ухаживает за Лушей и ухаживает слишком ясно, по ведь это избалованный дурак, а Луша

умна; притом вся эта орда скоро уедет с заводов. На этих соображениях Прозоров совершенно успокаивался, предоставив Лушу самой себе.

В тот же день к Прозоровскому флигелю была приведена великолепная английская верховая лошадь под дамским седлом, но она подверглась той же участи, как и сапфировая брошь.

Знала ли Раиса Павловна, что проделывал набоб и отчасти Прейн? Луша бывала у ней по-прежнему и была уверена, что Раиса Павловна все знает, и поэтому не считала нужным распространяться на эту тему. По удвоенной нежности Раисы Павловны она чувствовала на себе то, что переживала эта странная женщина, и начала ее ненавидеть скрытой и злой ненавистью.

— А ты, право, напрасно *это*... — нерешительно проговорила Раиса Павловна после эпизода с лошадью.

— Что «это»?

Раиса Павловна только посмотрела на свою любимицу улыбающимся, торжествующим взглядом, и та поняла ее без слов.

— Впрочем, тебе лучше знать, — продолжала Раиса Павловна, как о вещи известной.

«Да, я знаю, что ты меня хочешь повыгоднее продать, — думала, в свою очередь, Луша, — только еще пока не знаешь, кому: Евгению Константинычу или Прейну...»

Раиса Павловна поняла мысли Луши по ее сдвинувшимся бровям и горько улыбнулась: Луша была несправедлива к ней. В последнее время между этими женщинами установилось то взаимное понимание между строк, которое может существовать только между женщинами: они могли читать друг у друга в душе по взгляду, по выражению лица, по малейшему жесту. Иногда это было тяжело, но в большинстве случаев избавляло от напрасных объяснений. В открытых нотах Раисы Павловны проходила темой одна фраза: «я тебя люблю, люблю, люблю...», а в партии Луши холодно отзывалось: «а я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу...» Когда стороны начинали увлекаться, ноты разыгрываемой мелодии сливались, и их смысл терялся; такие недоразумения распутывались в более спокойные минуты.

— Знаешь, Луша, что сказал Прейн третьего дня? — задумчиво говорила Раиса Павловна после длинной паузы. — Он намекнул, что Евгений Константиныч дал бы тебе солидную стипендию, если бы ты вздумала получить высшее образование где-нибудь в столице... Конечно, отец поехал бы с тобой, и даже доктору Прейн обещал свои рекомендации.

Луша только улыбнулась, и в ее глазах засветилась мысль: «Раиса Павловна, как вам не совестно повторять такие глупости, которым вы и сами не верите? Ведь это та же засахаренная брошь...» Раиса Павловна в ответ на это звонко поцеловала Лушу, что в переводе значило «Умница ты моя!»

Глава 22

На заводе шли деятельные приготовления к предстоявшей поездке набоба по всему округу, о чем было уже известно всем, а в особенности тем, кому о сем ведать надлежало. Управители оставили Кукарский завод и разъехались по своим гнездам: Сарматов — в Мельковский завод, Буйко — в Куржак, Дымцевич — в Заозерный и т. д. Главная остановка по маршруту предполагалась в Баламутском заводе, где царствовал Вершинин, а затем в Заозерном и Куржаке, где предполагалась охота.

В этот короткий промежуток времени Родион Антоныч успел уже два раза объехать все заводы; он лез из кожи, чтобы все и везде было форменно, в лучшем виде, главным образом, конечно, с внешней стороны. Главной целью этих поездок было кое-что подготовить генералу Блинову, который будет собирать сведения от заводских контор по разным статьям. Необходимо было предупредить генерала и напустить ему такого тумана, что сам черт ногу переломит. По пути Родион Ан-

тоныч собрал сведения относительно замыслов Вершинина в Майзеля: первый готовил ряд обедов и завтраков, а второй — охоту. Мимоходом Родион Антоныч завернул на прииски, где и делались приготовления к оленьей охоте, и даже забрался на Рассыпной Камень, самую высокую гору в округе Кукарских заводов, на вершине которой устраивалась главная стоянка. Рубили две избы и чистили дорогу на самую вершину горы.

— А... предтеча! — смеялся Вершинин, когда встретил Родиона Антоныча на своем заводе. — Как здоровье Раисы Павловны?

— Ничего, слава богу...

— А я слышал, что у ней сильный насморк.

Эти шуточки не особенно беспокоили Родиона Антоныча, потому что у Вершинина уж так была устроена голова; их смысл он понял только вечером, когда к нему прискакал особый нарочный с письмом от Раисы Павловны, которая извещала своего Ришелье об аудиенции заговорщиков у набоба. «Меня нисколько не удивляет их поведение, — писала она под первым впечатлением, — но представьте себе, что во главе депутации явился...

кто бы вы думали? — Яшка Кормилицын! Скажите мне, ради бога, что этому младенцу нужно? Пишу вам все, что узнала от Прейна, который присутствовал на аудиенции; не верьте тем слухам, которые распускают наши враги. Меня все оставили... Если вы находите наше дело проигранным, я не удерживаю вас; может быть, и вы хотите примкнуть к партии Тетюева, из принципа, что всякому своя рубашка к телу ближе. Но я повторяю вам одно, что именно теперь, когда всё и все против меня, я глубоко убеждена, что вся эта кутерьма окончится в нашу пользу». Дальше следовало подробное описание аудиенции заговорщиков и ряд деловых соображений, советов и наставлений, пересыпанных крупной солью.

Родион Антоныч слишком далеко зашел, чтобы теперь думать о своей рубашке и, махнув рукой, решил лечь костьми за Раису Павловну: он еще веровал в нее, потому что за нее был всесильный Прейн.

Положение управителей на отведенных им заводах больше всего походило на положение удельных князьков древней Руси: здесь кипела вечная война из-за выгодных

столов, составлялись остроумные комбинации и делались целые походы, вроде того, который теперь устроен был против Раисы Павловны. В мирное время управители-князьки были заняты мелкими междоусобиями, личными счетами и копеечными интригами; подкопаться под врага, подставить ножку при удобном случае своему приятелю, запустить шпильку, отплатить за старую обиду, — из этих мелочей составлялся почти безвыходный круг, в котором особенно деятельное участие принимали женщины. Главным воротилой в этом исключительном мирке был Вершинин; он задавал тон и твердой рукой вел свою линию; другие управители плясали уже по его дудке, а в случае проявления самостоятельности подвергались соответствующей каре. На парадных завтраках Раисы Павловны, в обществе, в специально заводских делах — нигде не было спасения, и недругу Вершинина ничего не оставалось, как только искать спасения в бегстве. Заслужить нерасположение Вершинина равнялось чуть не смертному приговору. Бывали, впрочем, моменты, когда против него составлялась партия из мелких

управителей. Было даже раза два так, что Вершинин сам висел на волоске, но всю эту путаницу он всегда умел распутать с дьявольской хитростью и всегда выходил сух из воды. Настоящий состав управителей мирился с этим генеральством Вершинина, за исключением Майзеля; Сарматов, Дымцевич, Буйко и другие были слишком мелки, чтобы открыто тягаться с Вершининым, и предпочитали скрывать свои настоящие чувства. Приезд Лаптева и борьба с Раисой Павловной слили воедино всех и на время заставили забыть личные дрязги, счеты и неприятности. Расчет был простой: если на место Горемыкина назначат Вершинина или Майзеля, тогда произойдет соответствующее повышение всех остальных; если будет Тетюев, тогда увеличат жалованье или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, никто не желал проигрывать, а рассчитывал на верный выигрыш. Несомненный успех первой аудиенции служил ручательством за успех всего дела; теперь оставалось только устроить счастливую поездку набоба по заводам — и дело в шляпе. В последнем случае задача несколько двоилась: нужно бы-

ло показать плоды и успехи своих трудов и в то же время недостатки и упущения горемыкинской администрации. Это был очень скользкий путь, тем более что мелкие служащие были за Горемыкина. Словом, работы всем было по горло: все чистилось прибиралось и принимало праздничный вид. Управители бесились, ругались, топали ногами и были глубоко убеждены, что в этом именно и состоит настоящее заводское дело.

Маршрут, составленный Прейном, имел в длину около трехсот верст, захватывая все заводы. Из Кукарского завода сначала должны были проехать в Исток и Мельковский — в последнем рюмка водки и легкий завтрак; затем следовал Баламутский завод — обед и, может быть, ужин, смотря по обстоятельствам. Из Баламутского завода — в Заозерный, а из последнего, по озеру, на Рассыпной Камень — ночевка и кормежка. Последними в маршруте стояли заводы Лотовой и Куржак. Раиса Павловна просмотрела этот маршрут вместе с Прейном и вполне одобрила его, за исключением ужина в Баламутском заводе.

— Везите его прямо на охоту, — советовала

Раиса Павловна.

— Да ведь другой дороги нет к Рассыпному Камню? Наконец нельзя же миновать наш главный завод... Если бы не генерал, тогда, конечно, мы прокатили бы Евгения Константиныча проселком — и делу конец. Но генерал, вот где загвоздка. Да ничего не выйдет из этого, если и заночуем у Вершинина.

Для поездки по заводам был снаряжен громадный поезд из тридцати троек. Охота и кухня были отправлены вперед другим обозом. Было известно, что поедет Нина Леонтьевна, значит — Раиса Павловна останется дома. Майзель с Перекрестовым уехали вперед, чтобы приготовить приличную встречу набобу в горах; впрочем, представитель русской прессы изменил Майзелю на третьей же станции: смущенный кулинарными приготовлениями Вершинина, он остался в Баламутском заводе. Участие в поездке Нины Леонтьевны решило капитальный вопрос о том, что в предполагаемой охоте могут принять участие и дамы; конечно, такой оборот взволновал прекрасную половину и прежде всего поднял вопрос о костюмах. Последнее

особенно беспокоило дам. Охота не бал, приходилось самим «сочинять костюмы», следовательно, единственным основанием являлся только свой вкус; соперничество и желание блеснуть окончательно усложнили все дело. Модные журналы как-то упустили из виду возможность такого случая; самые смелые дамы, как m-me Сарматова, некоторое время колебались даже пред мужским костюмом, но когда узнали, что в таком костюме едет на охоту Прозорова, то восстали против нее с презрением. Луша действительно готовилась ехать в горы и теперь, под руководством Прейна, училась стрелять в цель из монте-кристо. Эти уроки шли, кажется, успешно. Веселый учитель, с французской складкой в характере, нравился Луше, потому что никогда не надоедал и вовремя умел приходить и уходить. Между ними установились те дружеские отношения, которые незаметно сближают людей; Прейн вообще понимал хорошо женщин и без слов умел читать у них в душе, а Луше эта тонкость понимания особенно и нравилась в нем. Прибавьте к этому рыцарскую вежливость и уменье всегда принести

жертву женскому тщеславию. Шуточки и остроты Прейна смешили Лушу до слез, и она шутя называла его дедушкой. В ответ на это звание Прейн целовал у Луши руки и беззаботно говорил:

— Учитесь у дедушки великой философии жизни, которая заключается всего в одном слове: никогда не скучать.

— Хорошо вам так рассуждать, — смеялась Луша, — а зашить бы вас в нашу девичью кожу, тогда вы запели бы другую песню с своей великой философией... Мужчинам все возможно, все позволительно и все доступно, а женщина может только смотреть, как другие живут.

— Совершенно справедливо, хотя и не без исключений. Умная и красивая женщина всегда сумеет поставить себя выше общественных условий... Но для этого она должна расстаться с некоторыми предрассудками...

— Вы смотрите на женщин хуже, чем на своих лошадей...

— О нет, вы ошибаетесь... Умная женщина может сделать из нас все — это страшная сила.

Лаптев по-прежнему ухаживал за Лушей, посылал букеты и говорил свои армейские комплименты; но этот избалованный набоб не умел попасть в тон, и Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная, апатичная натура, с чисто животными инстинктами, отталкивала ее, особенно по сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился. Постепенно, шаг за шагом, этот великий мудрец незаметно успел овладеть Лушей, так что она во всем слушалась одного его слова, тем более что Прейн умел сделать эту маленькую диктатуру совершенно незаметной и всегда знал ту границу, дальше которой не следовало переходить. Чувство меры в нем было особенно развито, и он умел подладиться к невозможным обстоятельствам, от которых даже у самого терпеливого осла давно лопнуло бы терпение. Так Прейн добился того, что Луша перестала дичиться и даже начала брать под его руководством уроки стрельбы и верховой езды. Ездил Прейн, как жокей, и быстро посвятил Лушу во все тайны этого великого искусства. Это сближение, однако ж, беспокоило Раису Павловну, которая, соб-

ственно, и сама не могла дать отчета в своих чувствах: с одной стороны, она готовила Лушу не для Прейна, а с другой — в ней отзывалось старое чувство ревности, в чем она сама не хотела сознаться себе. Луша, с эгоизмом всех довольных людей, делала вид, что ничего не замечает.

— Тебе необходимо ехать в горы, — советовала Раиса Павловна, когда Луша раздумывала принять эту поездку. — Во-первых, повеселишься, во-вторых... ты поедешь вместе с отцом, следовательно, вполне будешь защищена от всяких глупых разговоров; а на наших заводских баб но обращай никакого внимания. Нам с ними не детей крестить.

— Мне все равно, Раиса Павловна, что будут говорить про меня.

— Есть одно обстоятельство... собственно пустяки, но я дала бы тебе, Луша, маленький совет.

— Именно?

— Будь осторожнее с Прейном...

Последние слова Раиса Павловна произнесла с опущенными глазами и легкой краской на лице: она боялась выдать себя, стыди-

лась, что в этом ребенке видит свою соперницу. Она любила Лушу, и ей тяжело было бы перенести слишком тесное сближение ее с Прейном, с которым, собственно, все счеты были давно кончены... но, увы! — любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно старая любовь.

Давно ожидаемая поездка наконец совершилась в светлый июньский день, когда четырехместная коляска Лаптева стрелой полетела по дороге в Истокский завод; в коляске с набобом сидел один Прейн, а в ногах у них лежала ласково взвизгивавшая Brunehaut. Генерал ехал в следующем экипаже, вместе с Ниной Леонтьевной; за ним летела тройка, имевшая счастье везти самого m-r Чарльза, который теперь ехал в сопровождении собственного лакея. За m-r Чарльзом ехали собственные секретари Евгения Константиныча, потом Братковский с Летучим, а прочие экипажи были заняты остальной свитой. Тройки летели с бешеной быстротой восемнадцати верст в час; на половине станции были выставлены заводные лошади; но это не помогало, и непривычные к такой гоньбе тройки за-

дыхались от жара. На первом же полустанке оказалось четыре загнанных тройки; покрытые пеной, лошади тяжело вздрагивали, точно дышали всем телом, опускали головы и падали в конвульсиях.

Набоб лениво смотрел по сторонам, где мелькал тощий лес, вырубленный на заводские надобности; попадались болота, небольшие горки, прятавшаяся в тальнике и лопушнике речка. Подорожная трава была теперь покрыта густым слоем пыли, которую оставляли за собой транспорты железа и чугуна. Дождя не было целую неделю, и зелень сильно «притомилась», как говорят мужики. Трава просила дождика. Даже березы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Из хвойного леса несло тяжелым смолистым запахом, кружившим голову. Небо было чисто, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облаков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха.

— Дело кончится тем, что я схвачу чахотку, — капризно говорил набоб, чихая от пыли.

— Что же, за отечество и умереть приятно,

сказал какой-то мудрец...

Покуривая сигару, Прейн все время думал о той тройке, которая специально была заказана для Прозорова; он уступил свою дорожную коляску, в которой должны были приехать Прозоров с дочерью и доктор.

Дорога вилась пыльной лентой по холмистой местности, огибая гряду лесистых горок, которые тянулись к востоку, где неправильной глыбой синел Рассыпной Камень. Через два часа езды выглянул своими крайними домиками Истокский завод; он залег на дне глубокой горной долины, где была запружена бойкая горная речонка. Несколько широких улиц вытянулись по берегам заводского пруда; на площади, заваленной дровами, белела церковь. Фабрика слабо дымилась у самой плотины. На небольших заводах летом работы приостанавливаются, потому что все население страдует, заготовляя сено; только такие громадные заводы, как Кукарский и Баламутский, работали насквозь целый год, потому что располагали десятками тысяч рабочих рук.

В Истоке только переменили лошадей, и

набоб даже не вышел из экипажа, хотя был встречен колокольным звоном и хлебом-солью. Густая толпа народа не успела мигнуть, как барин уже был на дороге в Мельковский завод, где готовилась ему торжественная встреча. Характер местности быстро изменялся, и дорога начала забирать в гору; широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками, — все кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного пейзажа. Мельковский завод был похож на Исток, как две капли воды, только чуть-чуть побольше, да церковь была выкрашена желтой охрой. Тот же колокольный звон, те же толпы народа и та же хлеб-соль. В квартире Сарматова был сервирован легкий завтрак, на который ехавшая за набобом челядь накинулась с той жадностью, с какой бросается публика на железных дорогах к буфету.

— Ну, как вы себя чувствуете, Сарматов? — говорил Лаптев, торопливо прожевывая кусок холодной телятины.

— А ничего... Живем, пока мыши головы

не отъели.

— Как?

— Пока мыши головы не отъели.

— Ага! Вы, конечно, с нами поедете на охоту? Жаль, что на Урале нет кабанов.

Когда генерал предложил осмотреть фабрику, набоб отрицательно покачал головой и заметил, что фабрику можно будет осмотреть на обратном пути.

В Баламутский завод приехали к самому обеду. До него от Кукарского завода считалось девяносто верст; дорога делала большой выгиб, направляясь к северу, где синел Рассыпной Камень. Встреча барина в Баламутском заводе очень походила на такую же встречу в Кукарском, только в меньших размерах. Пятитысячная толпа запрудила все улицы и провожала коляску барина несмолкаемым «ура». Рассыпав свои бревенчатые избы по каменистым уступам глубокой горной котловины, Баламутский завод был очень красив, особенно издали. Громадный узкий пруд был сдавлен в живописных крутых берегах; под плотиной курилось до десятка больших труб и две доменных печи; на берегу пруда тяну-

лась заповедная кедровая роща, примыкавшая к большому господскому дому, походившему на дворец. Этот дом выстроил еще старик Тетюев, любивший Баламутский завод больше всех других. Две богатые церкви дополняли картину завода.

Глава 23

В жизни Евгения Константиновича растительные процессы занимали первое место, поэтому попятно то нетерпение, с которым вся свита ожидала обеда в Баламутском заводе. Чем-то угостит Вершинин набоба? Конечно, у Вершинина был отличный повар, которого он нарочно посылал учиться в петербургский английский клуб, но все-таки... Первые два блюда прошли почти незаметио, но когда подали уху из живых харюзов[74], набоб просветлел; после двух тарелок этой ухи всем было ясно, что Вершинин одержал победу, и Перекрестов поспешил сказать спич в честь знаменитой рыбы северных рек. Этими двумя тарелками все разъяснилось: набоб был доволен, следовательно, и Вершинин мог быть спокоен за свое будущее. В случае како-

го-нибудь затруднения стоило только сказать: «Евгений Константиныч, это тот самый Вершинин, у которого вы ели уху из харюзов...» Набоб вообще не отличался особенно твердой памятью и скоро забывал даже самые остроумные анекдоты, но относительно еды обладал счастливой способностью никогда не забывать раз понравившегося кушанья. Это была, если позволено так выразиться, гастрономическая память, потому что сосредоточивалась главным образом не в голове, а в желудке.

— А как харюз называется по-вашему, ноученому? — спрашивал Евгений Константиныч, вечером генерала.

— Salmo thymalis...

— Ага! Вершинин очень умный человек! как вы находите, генерал?

— Да... кажется.

Эта salmo thymalis испортила целую ночь старику Майзелю, который от души проклинал все горные речки, где водилась эта проклятая рыбешка. И нужно же было Вершинину подсунуть эту несчастную уху, когда ему, Майзелю, завтра придется угощать набоба

охотничьим завтраком. Русский немец имел несчастье считать себя великим гастрономом и вынашивал целых две недели великолепный гастрономический план, от которого могла зависеть участь всей поездки набоба на Урал, и вдруг сунуло этого Вершинина с его ухой... Извольте-ка теперь удивить набоба? Майзель тревожно проворочался целую ночь и чем свет уехал из Баламутского завода к Рассыпному Камню, чтобы там встретить набоба во главе привезенной из Петербурга охоты и целой роты собственных лесообъездчиков.

— Вы сделали отличный ход, Демид Львович, — поздравлял Перекрестов утром Вершинина. — Ведь две тарелки сряду... Да!.. Вот я два раза вокруг света объехал, ел, можно сказать, решительно все на свете, даже телячьи глаза в Пекине, а что осталось от всего? Решительно ничего... А вы своей ухой всех зарезали!

Прейн уехал из Баламутского завода вперед; он торопился в Заозерный завод, куда его вызывал через нарочного наш старый знакомец, Родион Антоныч. Заозерный завод в

маршруте служил последней сухопутной станцией, дальше путь к Рассыпному Камню лежал по озеру — на заводском пароходе. Таким образом, Заозерный являлся сборным пунктом, где около набоба должно было сгруппироваться все общество. Посланная Сахаровым эстафета лаконически гласила: «Все здесь; ждем вас». На этого верного слугу было возложено довольно щекотливое поручение: конвоировать до Заозерного завода «галок» Раисы Павловны, потому что они среди остального дамского общества, без своей патронессы, являлись пятым колесом, несмотря на всесильное покровительство Прейна; другим не менее важным поручением было встретить и устроить Прозоровых, потому что m-me Дымцевич, царившая в Заозерном на правах управительши, питала к Луше вместе с другими дамами органическое отвращение. Чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения между дамами, Прейн полетел сам на выручку.

Заозерный завод, раскидавший свои домики по берегу озера, был самым красивым в Кукарском округе. Ряды крепких изб облепи-

ли низкий берег в несколько рядов; крайние стояли совсем в лесу. Выдавшийся в средине озера крутой и лесистый мыс образовал широкий залив; в глубине озера зелеными пятнами выделялись три острова. Обступившие кругом лесистые горы образовали рельефную зеленую раму. Рассыпной Камень лежал массивной синевато-зеленой глыбой на противоположном берегу, как отдыхавший великан.

— Хорошо ли вам здесь? — спрашивал Прейн, пожимая руку Луше. — Как доехали? Благополучно? Ага... А вы, доктор?

Известие об ухе из харюзов опередило Прейна, и Родион Антоныч глядел с печальной задумчивостью, как наблудивший кот. Недаром Раиса Павловна так беспокоилась за Баламутский завод: оно все так и вышло, как по-писаному. Теперь через этих харюзов и Тетюев вылезет... Умудренный в изворотах, мелях и подводных камнях внутренней политики, Родион Антоныч, как никто другой, понимал всю важность совершавшихся событий и немедленно послал эстафету Раисе Павловне с нарочным: «Вершинин угостил ухой из харюзов: Евгений Константиныч скушали две

тарелки. Известите с сим же нарочным, что делать».

Луша была недовольна поездкой и капризничала; Прейну стоило большого труда успокоить ее.

— Очень мне интересно смотреть на этих надутых дам, — говорила она. — И к чему вы навезли сюда этих галок?

— Все будет хорошо, — тараторил Прейн, — чем больше дам, тем лучше. Кашу маслом не испортишь... Меня Раиса Павловна просила о «галках», не мог же я отказать ей!

В душе Прейн был очень доволен, что Луша начинала ревновать его к m-lle Эмме; старый грешник слишком хорошо знал все ходы и выходы женского сердца, чтобы ошибиться. Он не любил добычи, которая доставалась даром.

«Галки» тоже скучали и от нечего делать одолевали почтенного Родиона Антоныча самыми невозможными просьбами и птичьими капризами; этот мученик за идею напрасно делал кислые гримасы и вздыхал, как загнанная лошадь, — ничто не помогало. Храбрые девицы позволяли себе такие шуточки и

остроты даже относительно самой наружности своего телохранителя, что Родион Антоныч принужден был отплевываться с выражением благочестивого ужаса на лице.

— Ваша прямая обязанность, Родион Антоныч, сейчас же съездить за Братковским, — серьезно говорила m-lle Эмма, — а то посмотрите, на что похожа сделалась Аниника? Если ваша жена узнает...

— О господи, за что ты меня наказываешь? — стонал мученик-доброволец.

— Нет, в самом деле, я очень люблю всех домашних секретарей, — смеялась беззаботная Анниника, — и дорогой чуть не поцеловала вас, Родион Антоныч, потому что вы ведь тоже секретарь...

— Федот, да не тот, — прибавила m-lle Эмма, хлопая Родиона Антоныча по плечу своей мягкой рукой.

С появлением Прейна шуткам над Родионом Антонычем не было конца, пока этот искус не закончился появлением в Заозерном загонщиков, возвестивших о благополучном отбытии набоба из Баламутского завода.

Небольшой плоскодонный пароход, тас-

кавший на буксире в обыкновенное время барки с дровами, был вычищен и перекрашен заново, а на носу и в корме были устроены даже каюты из полотняных драпировок. Обитые красным сукном скамьи и ковры дополняли картину. В носовой части были помещены музыканты, а в кормовой остальная публика. До Рассыпного Камня по озеру считалось всего верст девятнадцать, но пароход нагружался с раннего утра всевозможной «яствой и питвой», точно он готовился в кругосветную экспедицию.

Набоб из экипажа прямо перешел на пароход, а за ним хлынула толпа дам; все старались занять место получше, то есть поближе к набобу. Собравшиеся прежде всего, конечно, сделали самый строгий осмотр друг другу, как слетевшиеся пчелы. Присутствие «галок» и Луши заставило их целомудренно сбиться в отдельную кучку, а маменьки даже прикрывали своих дочерей носовыми платками, точно в самом воздухе носилась какая-то зараза. Нина Леонтьевна презрительно рассматривала «галок» в лорнет, не переставая улыбаться двусмысленной улыбкой; остальные дамы

поддерживали ее взглядами и принужденным молчанием. От взглядов и улыбок Нина Леонтьевна, по всей вероятности, перешла бы к более активным проявлениям своего возмущенного чувства, но ее останавливало присутствие Прозорова, который все время наблюдал за ней улыбающимися глазами. Костюмы дам носили меланхолический характер серых тонов; только одна m-me Сарматова явилась в платье «цвета свежепросольного огурца», как говорил Прозоров, что, по ее мнению, имело какое-то соотношение с предполагаемой охотой. Набоб лениво окинул эту толпу дам и едва заметно улыбнулся, заметив около Прозорова съежившуюся Лушу, которая сегодня казалась совсем маленькой девочкой, точно вся она сжалась и ушла в себя. Она была одета в простенькое камлотовое платье с пелериной; дамы подозрительно осматривали этот скромный костюм, стараясь под ним отыскать мужское платье, о котором они слышали.

Пароход отвалил. Тихими аккордами полился какой-то торжественный старинный марш. На берегу живой стеной стоял прово-

жавший барина народ: кто-то крикнул вдогонку «ура», но оно замерло в шуме падавшей с пароходных колес воды. Неуклюжее судно точно задыхалось и с каким-то хрипеньем разгребало воду. Вода в озеро чуть-чуть рябила; небо было чисто. В воздухе чувствовался наливавшийся летний зной... Луша еще в первый раз едет на пароходе и поддается убаюкивающему чувству легкой качки; ей кажется, что она никогда больше не вернется назад, в свой гнилой угол, и вечно будет плыть вперед под колыхающиеся звуки музыки. Вперед, вперед! Новое, такое хорошее и доброе чувство подхватывает ее, и она забывает о той ненависти, которая сосредоточивается на ней. Ведь здесь все ей враги, за исключением, может быть, Прейна... Она желала бы теперь остаться совсем одна. Пусть шумит вода, пусть плывут мимо лесистые, затянутые синеватой пленкой берега, пусть с неба льются волны теплого света. Почему-то Луша думает о смерти. В самом деле, почему? Хорошо умереть молодой и красивой, в цвете сил, умереть, как засыпает ребенок на руках матери. Что бы тогда сказали о ней все эти дамы и

мужчины? Луша ненавидит их всех одинаково, ненавидит той ненавистью, которая, как полированная поверхность блестящего металла, отражает падающий на нее луч. Вон Евгений Константиныч разговаривает о чем-то с Ниной Леонтьевной, вон Братковский улыбается через плечо счастливой Анниньке, вон два зорких глаза наблюдают ее — это глаза старого Прейна, который любит ее и которого она тоже начинает любить... нет, не любить, а ей весело с ним, он такой славный!

— Раз со мной какой случай был, — рассказывал Сарматов, обращаясь к кружку мужчин. — Mesdames![75] вы уж извините меня, если я немного...

— Ах, Сарматов, вы вечно приметесь рассказывать что-нибудь такое... — жеманно протестуют дамы, отсаживаясь подальше от рассказчика.

— Раз наш полк стоял в Саратовской губернии, — рассказывал Сарматов, складывая ногу на ногу, — дело было летнее, скучища смертная, хоть петлю на шею... Хорошо у меня ружьишко: дай, думаю, хоть за утками схожу. Выбрал денек поведреннее и ранним

утром махнул к первому озеру. Походил-походил около воды, убил пару уток, а достать из воды не умею... Как быть? Отыскал шалашик, где рыбаки жили, и нанял лодочку с двумя гребцами. Поехали. Ну-с, убил я этак штук пятнадцать — не помню хорошенько, захотелось отдохнуть. Привалили к берегу, развели огонек, пару уток в золу — все по порядку... Устал я, а тут как выпил и закусил, сон меня так и клонит. Мои гребцы видят, что я спать располагаюсь, и просят меня: «Ваше высокородие, позволь нам насчет уток, пока почивать будешь». Думаю, отчего не позволить — ступайте на все четыре стороны. «Мы, говорят, ваше высокородие, тут неподалече в камышах постреляем...» Хорошо. Ружье с ними, обыкновенно, мужицкое: ложа расщеплена, замок привязан веревкой, все в этом роде. Остался я около огонька и смотрю, что будет. Вот один и говорит: «Ты, Бряков, ступай на ту сторону в камыши и загоняй уток, а я буду ждать на этом берегу в камышах. Как я тебе крикну: «мыряй!» — ты в воду, а стрелять буду я...» Мудрено что-то, думаю. Заинтересовало меня, как это Бряков мырять будет. Хоро-

шо-с. Вот охотник с ружьем засел в кусты и ждет, а Бряков с другой стороны палочкой гонит целый выводок — уток там видимо-невидимо. Прямо на охотника так и гонит, тот сидит в камышах и молчит. Бряков вышел из камышей и по колено в воде бредет. Осталось всего этак шагов тридцать, слышу: «Мыряй!» Мой Бряков в воду, вниз головой... Только не рассчитал, бедняга, что место мелкое, да и ружье у приятеля с запалом: пшш... Выстрел... Бряков:;ай, ай... Выскочил из воды, как ошпаренный, и по берегу напластывает ко мне, а сам ревет благим матом и обеими руками держится... как бы это повежливее выразиться?..

— Это то самое место, — объяснил Прозоров, — в которое, по словам Гейне, маршал Даву ударил ногой одного немца, чем и сделал его знаменитостью на всю остальную жизнь...

Мужская компания громко хохочет. За этим анекдотом посыпался ряд других. Тема оказалась бесконечной. А впереди уже выше и выше встает Рассыпной Камень, можно рассмотреть утесистую вершину-шихан и от-

дельные россыпи из камней, которые тянутся по бокам правильными полосами. На берегу устроена временная пристань, и ждут верховые лошади. Несколько экипажей для дам стоят в тени мелкого березняка, где курится огонек. Майзель издали машет серой охотничьей шляпой. От пристани в гору тянется свежая просека, которая нарочно устроена для этого случая.

Мужская компания берет верховых лошадей, а дамы садятся в экипажи. Исключение представляет m-me Сарматова в своем зелено-желтом платье и Луша; для них приготовлены лошади под дамским седлом. Прейн помогает им сесть в седло; Лаптев издали, разговаривая с Майзелем, следит за Лушей, которая, туго натягивая поводья, заставляет свою лошадь танцевать. От волнения все лицо у ней залито ярким румянцем, а глаза блестят лихорадочным влажным взглядом. Вот шагом потянулись в гору экипажи с дамами, тяжело переваливаясь с кочки на кочку и оставляя на траве измятый светло-зеленый след; под ногами лошадей хлюпает и шипит вода. Место низкое, и кое-где лошади проваливают-

ся.

— Посмотрите, как везут кислую капусту! — вполголоса шепчет Прейн Луше, указывая головой на экипажи с дамами.

— Я не знал, что вы такая наездница, — раздается за спиной Луши голос Лаптева.

Девушка краснеет от этой похвалы и мешает поводья. Длинная кавалькада вытягивается в гору. Озеро остается далеко внизу и точно отступает от берега. С каждым шагом вперед горизонт раздается шире и шире; из-за узорчатой прорези елового леса выступают гряды синих гор, которые тянутся к северу тяжелыми валами, точно складки обросшей зеленой щетиной кожи какого-то чудовища. Небо уходит вверх бездонным куполом; где-то далеко-далеко сверкает затерявшаяся в глубоком логу горная речонка. А там кучкой поломанных детских игрушек, рассыпанных без всякого плана и порядка, выделяется какая-то лесная деревенька.

Вершина Рассыпного Камня представляла собой слегка округленную плоскость тремя скалистыми гребнями. Самый высокий из них выходил к озеру; под ним гора крутым

выгибом спускалась вниз, к воде. Около этого шихана и была выбрана охотничья стоянка, представлявшая самый живописный уголок по своей дикой красоте. Под скалами рос частый ельник. На маленькой площадке были поставлены две широкие избы. С площадки, кроме лесу и скал, ничего нельзя было рассмотреть; но стоило подняться на шихан, всего каких-нибудь десять сажен, и пред глазами открывалась широкая горная панорама, верст с сотню в поперечнике. Под ногами расстилалось длинное озеро с зелеными островами и Заозерным заводом в дальнем конце; направо, верстах в двадцати, как шапка с свалившимся набок зеленым верхом, поднималась знаменитая гора Куржак, почти сплошь состоявшая из железной руды. У ее подножья пестрели заводские домики и едва дымилась фабрика. Баламутский завод был прикрыт широкой горой; на горизонте расплывшимся пятном чуть виднелся Кукарский завод. К северу расстилалась настоящая зеленая пустыня; на ней едва можно было разобрать несколько приисков, прятавшихся по глубоким логам. Лес покрывал все кругом сплош-

ным зеленым ковром, который в некоторых местах точно был починен новыми квадратными заплатами более светлых тонов. Это были курени, где жгли уголь и заготовляли дрова. Картина леса вблизи совсем являлась не тем, чем казалась сверху: настоящего леса, годного для заводов, оставалось очень немного, потому что столетние лесные дебри сводились самым хищническим образом. Майзель умел хозяйничать так, что оставались нетронутыми только болота и поросли. Если бы вести правильно лесное хозяйство, то трехсот тысяч десятин, находившихся под лесом, достало бы заводам на веки вечные; но расчеты крупных подрядчиков не совпадали с требованиями лесного хозяйства: вырывались самые лучшие куски без всякого плана и порядка.

Общество, собравшееся на шихане, куда был подан завтрак и чай, менее всего интересовалось вопросами лесной техники и натянуто восхищалось далекой воздушной перспективой, игрой света и теней, зеленью леса, сливавшегося на горизонте с синевой голубого северного неба. Здесь дышалось так при-

вольно и легко, в этой небогатой красками и линиями природе, полной своеобразной северной поэзии. Набоб мельком взглянул кругом и невольно сравнил этот родной вид с смелыми картинами заграничной природы. Его не расшевелили скромные красоты родины, которая теперь, летом, стояла пред ним, как бедная невеста, украсившая себя полинявшими цветочками и выцветшими лежалыми лентами. Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла с этих придавленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба.

Глава 24

Рано утром, на другой день, назначена была охота на оленя. Зверь был высмотрен лесообъездчиками верстах в десяти от Рассыпного Камня, куда охотники должны были явиться верхами. Стоявшие жары загоняли оленей в лесную чащу, где они спасались от одолевавшего их овода. Обыкновенно охотник выслеживает зверя по сакме[76] и ночлегам, а потом выжидает, когда он с наступлением жаркого часа вернется в облюбованное им прохладное местечко.

Мужчины переоделись в охотничьи костюмы: серые куртки с зелеными отворотами и длинные сапоги. Оставались с дамами только Прозоров, Платон Васильичи домашние секретари. За охотниками двинулась орава лесообъездчиков и егеря. Собаки оставались на месте ночлега. Майзель с молодецкой посадкой ехал рядом с набобом, объясняя правила охоты, привычки зверя и разные охотничьи секреты. Евгений Константиныч лениво позевывал, раскачиваясь в седле; он был немножко не в духе, потому что недоспал.

Летнее утро было хорошо, как оно бывает хорошо только на Урале; волнистая даль была еще застлана туманом; на деревьях и на траве дрожали капли росы; прохваченный ночной свежестью, холодный воздух заставлял вздрагивать; кругом царило благодатное полудремотное состояние, которое овладевает перед пробуждением от сна. Только поднимавшееся солнце да голоса распевавших птиц нарушали картину общего торжественного покоя. Лесная узкая тропинка повела охотников под гору, минуя каменистые россыпи. Кое-где попадались кедры; сплошными массами лесные породы залегали только по низким местам, а на горе рос смешанный лес. Если смотреть на Рассыпной Камень снизу, так и кажется, что по откосам горы ели, пихты и сосны поднимаются отдельными ротами и батальонами, стараясь обогнать друг друга. От них сторонится лепечущая нарядная толпа берез, лип и осин, точно бесконечный девичий хоровод. Нехорошо только одно, что вся картина точно застыла, охваченная заколдованным сном в самый горячий момент. Каждым поколением делается только один

шаг, которым растение навсегда привязывается к почве.

Набоб ехал молча, припоминая про себя подробности вчерашнего дня. Днем он не имел возможности поговорить с Лушей, за исключением двух-трех случайно брошенных фраз; девушка точно с намерением избегала его общества в под разными предлогами ловко увертывалась от него. Только вечером, когда под шиханом горели громадные костры и вся публика образовала около них живописные группы, он заметил на верху скалы неподвижную тонкую фигуру. Издали ее совсем трудно было отличить от беспорядочно нагроможденных камней, но инстинкт подсказал набобу, что этот неясный силуэт принадлежал не камню, а живому существу, которое тянуло его к себе с неудержимой силой. Удалившись незаметно от остальной компании, набоб осторожно начал взбираться на шихан с его неосвещенной стороны, рискуя на каждом шагу сломать себе шею. Но эта опасность придавала ему силы, и он видел только этот профиль женской фигуры, теперь ясно вырезывавшийся для него на освещенном фоне ко-

стров. Конечно, это была она, Луша. Набоб чувствовал, как кровь приливала к его голове и стучала в висках тонкими молоточками, а в глазах все застилало кружившим голову туманом. Чтобы не испугать любительницу уединения, набобу нужно было подвигаться вперед крайне осторожно, чтобы не стукнул под ногой ни один камень, иначе это воздушное счастье улетит, как тень, как те летучие мыши, которые с быстротой молнии пропадают в ночной мгле. Переползая с камня на камень, набоб оборвал и исцарапал руки и больно ушиб левое колено, так что даже стиснул зубы от боли, но цель была близка, а время дорого. Он чувствовал, что не перенесет, если она сейчас встанет и начнет спускаться со скалы. Вот уже несколько шагов... Набоба охватывала мягкая ночная сырость; из расщелин скалы тянуло гнилым острым запахом лишайника и разноцветного горного мха; с противоположной стороны шихана обдавало едкой струей дыма, щекотавшей в носу и щипавшей глаза.

— Это вы, Прейн? — тихо спросила Луша, заметив выплывавшую из ночной мглы чело-

веческую фигуру.

Этот вопрос успокоил набоба. Он боялся, что девушка ждала своего несчастного доктора.

— Нет, это я... — тихо ответил он сдержанным шепотом, чувствуя, как у него все пересохло во рту, а глаза налились кровью.

— Кто? — еще тише спросила Луша, инстинктивным движением собирая около ног свои юбки и напрасно вглядываясь в подползавшую фигуру.

— Я... Человек, которого вы не ждете, но который из-за удовольствия видеть вас десять раз мог сломать себе шею.

Луша не вскрикнула, не испугалась, но сделала движение подняться с места.

— Ради бога, не поднимайтесь! — умолял набоб. — Одно слово — и я уйду.

Набоб подполз так, что его нельзя было заметить со стороны огней, и, скорчившись, сел у ног Луши, как самый покорный раб. Это смирение тронуло сердце Луши, и она молча ожидала первого вопроса.

— Вы ждали Прейна?

— Нет.

— Почему вы подумали, что это он, а не кто-нибудь другой?

— Потому что... потому что считала его одного способным на такую дикую выходку. Ведь он ловок, как кошка.

— Зачем вы ушли сюда?

— Мне было скучно внизу, а здесь так хорошо. Я иногда люблю подурачиться, особенно ночью... Посмотрите, как хорошо кругом.

На горах лежала непроницаемая мгла, из которой смутно выплывали неясные силуэты самых высоких гор, да кое-где белел туман, точно все низменности были налиты белой, тихо шевелившейся массой, вроде мыльной пены. Набоб не находил в этой картине ничего красивого, если бы не это звездное глубокое небо, наклонившееся над землей с страстным шепотом. В лихорадочном блеске мириадами искрившихся звезд чувствовалось что-то неудовлетворенное, какая-то недосказанная тайна, которая одинаково тяготит несмываемым гнетом как над последним лишаем, жадно втягивающим в себя где-нибудь в расселине голого камня ночную сырость, так и над венцом творения, который вынашивает в

своей груди неизмеримо больший мир, чем вся эта переливающаяся в фосфорическом мерцании бездна.

— Луша... Вы позволите мне так называть вас?

Молчание.

— Луша! Зачем вы так упорно продолжаете избегать меня? Что я вам сделал? Что мне нужно сделать, чтобы заслужить ваше... ваше доверие?

— Очень немного: уйти отсюда с такою же ловкостью, с какой вы явились. Что вам нужно от меня? Что общего может быть между нами?

Благодаря исключительным условиям этой сцены разговор происходил отрывистыми фразами; сторонам представлялось самим перекидывать между ними те умственные мостики, которые делали бы связь между отдельными мыслями вполне ясной.

— Вы — странная девушка.

— Это очень скучная тема, и чтобы не повторять одно и то же десять раз, скажу вам, что я такая же обыкновенная девушка, как и тысячи других, которым вы повторяли сейчас

сказанную вами фразу.

— Но это не мешает мне чувствовать то, что я говорю, чувствовать с того момента, когда я в первый раз увидал вас. Я боюсь назвать то чувство, которое...

— Я понимаю это чувство: имя ему — жажда разнообразия...

Луша тихо засмеялась, скрестив пальцы.

— А если я имею такие доказательства, которые должны убедить вас?

Пауза. Где-то шарахнулась ночная птица и пропала с мягким трепетом крыльев в ночной мгле. Набоб невольно вздрогнул; он только теперь почувствовал, что из его исцарапанных рук сочится кровь.

— Вот вам доказательство, — проговорил он, протягивая руку вперед. — Пощупайте, она в крови, которую я проливаю из-за вас...

— Очень трогательно... Позвольте я оботру ее вам. Это все, что я могу сделать.

Девушка торопливо вытерла своим платком протянутую мясистую ладонь, которая могла ее поднять на воздух, как перышко. Она слышала, как тяжело дышал ее собеседник, и опять собрала около ног распустивши-

еся складки платья, точно защищаясь этим жестом от протянутой к ней сильной руки. В это мгновенье она как-то сама собой очутилась в железных объятиях набоба, который задыхавшимся шепотом повторял ей:

— Ты будешь моя!.. ты будешь моя!

— Никогда!.. Пустите... Иначе мы вместе полетим вниз.

На верху скалы завязалась безмолвная борьба. Луша чувствовала, как к ней ближе и ближе тянулось потное, разгоряченное лицо; она напрягла последние силы, чтобы оторваться от места и всей тяжестью тела тянулась вниз, но в этот момент железные руки распались сами собой. Набоб, схватившись за голову, с прежним смирением занял свою старую позицию и глухо забормотал прерывавшимся шепотом:

— Я вас убью... Простите меня... но я не могу... я...

Он сорвал с шеи галстук и замолчал, вздрагивая всем телом.

— Уходите, уходите! — гневно шептала девушка, закрывая лицо своими топкими руками. — Я лучше умру сто раз, чем один раз от-

дамся вам. Уходите... Я сделаю то, о чем вас предупреждала.

Она угрожающе поднялась с места, но ее остановил отчаянный жест набоба, молившийо пощаде.

— Хочешь быть моей женой, Луша? — шептал потерявший голову набоб. — Я все тебе отдам... Вот все, что отсюда можно видеть днем. Это все будет твое... за одно твое ласковое слово.

Луша отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Я не требую теперь вашего ответа... сейчас... Обдумайте, я умею ждать...

— Напрасный труд, Евгений Константиныч! Ради бога, уходите... Вас ищут там. Слышите голос Прейна?

— Не уйду, пока вы не дадите мне руки... Это будет доказательство, что вы меня простили... и подумайте о моем предложении.

Девушка торопливо протянула свою руку и почувствовала, с странным трепетом в душе, как к ее тонким розовым пальцам прильнуло горячее лицо набоба и его белокурые волосы обвили ее шелковой волной. Ее на мгновенье

охватило торжествующее чувство удовлетворенной гордости: набоб пресмыкался у ее ног точно так же, как пресмыкались пред ним сотни других, таких же жалких людей.

Когда Евгений Константиныч вернулся к пылавшим огням, он, к своему удивлению, увидал Лушу, которая, сидя на бухарском ковре, весело болтала о чем-то в обществе доктора, Прейна и Прозорова. Чтобы не выдать своего похождения, набоб натянул замшевые перчатки. Луша заметила этот маскарад и улыбнулась.

— Где это вы пропадали? — спрашивал Прейн, пытливо глядя на своего повелителя.

— Представьте себе, я чуть не заблудился... — весело ответил набоб, припоминая, как Луша вытирала его руки платком. — Еще четверть часа — и я, кажется, погиб бы в этой трущобе.

Посыпались вопросы и знаки участия; особенно взволновались дамы, которые в своей птичьей беззаботности и не подозревали, что погибель была так близка. Лаптев в тон общему настроению рассказал самую фантастическую историю своего путешествия в каких-то

камнях, а потом в густом лесу. В заключение он взглянул на Лушу. Их глаза встретились. Набобу показалось, что он теперь понял эту странную девушку, точно между ним и ей исчезла какая-то завеса, разделявшая их до сих пор. Она смотрела на него с тем гордым чувством собственности, как смотрят любящие женщины. Он показал ей глазами на свои перчатки; она отвернулась, чтобы скрыть осветившую лицо улыбку.

Теперь, спускаясь с горы, набоб с удовольствием перебирал в своем уме подробности вчерашних похождений. Он переживал ту полноту и приятную напряженность чувства, каких не дают продажные женщины. Прейн ехал за ним и сосредоточенно насвистывал какую-то бравурную опереточную арию, что в переводе означало, что он о чем-то думает самым серьезным образом. От его зоркого взгляда не ускользнуло, что между Лушей и набобом произошло что-то очень важное: оба держали себя как-то неестественно, и Луша несколько раз задумчиво улыбнулась без всякой видимой причины. Старый грешник чувствовал себя непогрешимым в известного

сорта делах. Рано утром, когда набоб еще спал, Прейн заметил следы крови на снятых перчатках; это обстоятельство навело его еще на большие сомнения.

План охоты на оленя заключался в том, чтобы егерям и лесообъездчнкам сначала окружить зверя живой цепью, а потом выгнать его прямо на набоба. Круг из загонщиков растягивался верст на пять. Посланные вперед разведчики донесли Майзелю, что зверь встал от оводов в густую еловую заросль, которая тянулась сплошной гривою по одному из увалов Рассыпного Камня. За последнюю неделю был выслежен с математической точностью каждый шаг обреченного на погибель зверя. Это был великолепный десятирогий «бык», то есть самец, отдыхавший после весенних удовольствий любви. Можно было пожалеть только о том, что он за последнюю неделю, преследуемый оводом, заметно спал с тела.

Пока загонщики делали свое дело, устроен был легкий привал у безымянного горного ключика, сочившегося ледяной струей из крутого отвала горы. Чтобы прежде времени не

встревожить зверя, было строго запрещено курить и разговаривать. Набоб, вытянувшись на траве во весь рост, безмолвно смотрел в голубое небо, где серебряными кружевами плыли туманные штрихи. В одном месте круглилось и надувалось белое грозовое облачко. Смешанный лес из сосен и берез то начинал шуметь ласковым шепотом, то сдержанно стихал. Солнце подобрало росу, и теперь в сочной зеленой траве накоплялся дневной зной, копошились букашки и беззаботно кружились пестрые мотыльки; желтые, розовые и синеватые цветы пестрили живой ковер травы, точно рассыпанные самоцветные камни. Кусты жимолости и вереска выбирали самые солнечные места, где почва накаливалась от зноя. В числе охотников был и Родион Антоныч, тоже облекшийся в охотничью куртку и высокие сапоги; выбрав местечко на глазах набоба, он почтительно сидел на траве, не спуская глаз с своего владыки, как вымуштрованный охотничий пес.

— Готово... — шепотом проговорил Майзель, когда на опушке ближайшего леса показался приземистый бородатый лесообъезд-

чик, первый плут и лучший охотник.

Все поднялись и осторожно пошли через лес пешком. Лошади были оставлены. Евгений Константиныч нес в руках короткий английский штуцер, заряженный самим Майзелем. Когда охотники были расставлены по местам, мертвая тишина охватила все кругом. Набоб стоял под прикрытием развесистого куста рябины; пред ним легла глубокая поляна, по которой должен был пробежать вспугнутый зверь. Время тянулось с ужасной медленностью. Где-то сухо треснул под ногой сучок. Комары лезли набобу в нос, в рот, даже в уши; он сначала отмахивался от них рукой, а потом покорился своей участи и только в крайнем случае судорожно мотал головой, как привязанная к столбу лошадь. Майзель стоял от него шагах в пятидесяти и чутким, привычным ухом ловил малейший шорох. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом он убедился, что зверь поднят: олень почуял опасность и осторожным шагом, нюхая воздух и насторожив уши, шел вдоль лесистой гривки. В одном месте «счакали» рога о дерево. Майзель, притаив дыхание, впился глаза-

ми в лесную чащу; зверь шел прямо на набоба и должен был пересечь лесную прогалину, которая была открыта для выстрела.

Красавец олень действительно шел по направлению к этой прогалине, делая легкие прыжки через поваленные стволы деревьев. Он чутко поводил ушами, откидывая рога на спину. Подозрительный шорох заставлял его вздрагивать; горячие большие глаза смотрели тревожно. Зверь почуял своего страшного врага — человека — и теперь старался выбраться из засады. Опасность грозила из каждого угла, олень чувствовал окруживших его людей с такой же отчетливостью, как мы можем только видеть. Вместе с тем он понимал, что единственное его спасение — это идти вдоль гривы. Но блеснувшая между деревьями прогалина заставила его остановиться на опушке, он почуял, что враг совсем близко, и хотел вернуться, но в это мгновение раздался сухой треск выстрела, и благородное животное, сделав отчаянный прыжок вперед, пало головой прямо в траву. Из-за рябины, где стоял набоб, взмыло кверху белое облачко дыма.

— Молодецкий выстрел! — кричал Май-

зель, первым подбегая к трепетавшему в агонии оленю. — Поздравляю, Евгений Константиныч... Могу сказать, что это выстрел! двести шагов... Да, молодецкий выстрел!

Около убитой жертвы сошлись все охотники, торопливо делая оценку выстрелу.

— Теперь на коня! — скомандовал Майзель. — Господа, мы будем поздравлять Евгения Константиныча на привале...

Лесообъездчики явились с лошадьми; оленя взялся доставить Родион Антоныч, не знавший, чем выразить ему свое удивление пред искусством набоба.

— Что же ты меня не поздравляешь, Альфред? — обратился набоб к Прейну, который рассеянно смотрел на пеструю толпу сбежавшихся егерей и лесообъездчиков.

— Ага... ничего! — ответил Прейн. — Счастливый выстрел...

Майзель торжествовал и гордо закручивал свой седой ус; самое горячее желание исполнилось: набоб был доволен. Обратно охотники поехали другой дорогой и у подножья Рассыпного Камня, на одном повороте лесной тропы, неожиданно увидали перед собой гро-

мадный шатер, огни и все общество. Этот сюрприз был задуман тоже Майзелем, чтобы устроить чисто охотничий привал. Дамы наперерыв спешили поздравлять счастливого охотника и даже поднесли ему букет из полевых цветов. В общем взрыве радостного восторга не принимала участия только Луша.

— А вы, кажется, не разделяете общих чувств? — спрашивал ее набоб, улучив свободную минуту.

— Прикажете тоже поздравлять? Это очень забавно! убить оленя, которого лесообъездчики чуть не привязали за рога к дереву... Удивительный подвиг!..

— Я не видал вас со вчерашнего дня... — понизив голос, проговорил набоб.

— Не много от этого потеряли. Идите, пожалуйста, к дамам, а то они меня разорвут...

Привезенный олень явился апогеем торжества. Его освежевали, а мясо отдали поварам. Пир затевался на славу, а пока устроена была легкая закуска. Майзель с замиранием сердца ждал этого торжественного момента и тоном церемониймейстера провозгласил:

— Господа, прошу отведать хлеба-соли!

Набоб первым вошел в палатку, где на столе из свежерасколотых елей красовалась «маленькая» охотничья закуска, то есть целая батарея всевозможных бутылок и затем ряды тарелок, тарелочек и закрытых блюд с каким-то очень таинственным содержимым.

— Вот, могу вам рекомендовать, Евгений Константиныч, — с скромным достоинством проговорил Майзель, собственноручно подавая набобу лежавший на серебряном блюде предмет странной формы, что-то вроде передней половины разношенной калоши: — самое охотничье кушанье...

— Что это такое? — удивился набоб, осторожно пробуя вилкой темную губчатую массу.

— А вы попробуйте...

Отрезанный ломтик оказался необыкновенно тонкого вкуса. Удивленный этим сюрпризом, набоб съел второй ломтик и потом с отчаянием в голосе проговорил:

— Хоть убейте, не могу определить, что это за штука... А чертовски вкусная закуска! Прейн, попробуй!

— Это, Евгений Константиныч, позволю се-

бе так выразиться, классическая охотничья закуска, — объяснил Майзель, даже покрасневший от щедрой похвалы, — маринованная верхняя губа сохатого...

— Благодарю и благодарю! — растроганно заявил набоб и торжественно облобызал старого охотника. — Раз — благодарю за отличную охоту, а второе — за эту закуску...

Нужно ли говорить, что торжество Майзеля отразилось острой болью на душе у всех остальных, особенно у Вершинина, который имел несчастие думать в течение целых двух суток, что никто не может придумать ничего лучше его ухи из живых харюзов. Вот тебе и харюзы! Даже Сарматов — и тот, обнюхивая микроскопический кусочек доставшейся на его долю классической охотничьей закуски и глубокомысленно вытаращив глаза, громко заявил, что действительно, когда он был командирован в Архангельскую губернию, то в течение трех лет питался одной маринованной губой сохатого. Родион Антоныч торжествовал: союзники теперь побивали друг друга... Отлично! Майзель никогда не простит Вершинину уху из харюзов, а Вершинин ни-

когда не простит Майзелю маринованной губы.

«Отлично! — думал Родион Антоныч, потирая руки. — Вот так удружили... Ха-ха!.. Ах! нужно сейчас же послать Раисе Павловне эстафету».

В душе Ришелье затеплилась сладкая надежда, что все здание, с такой дьявольской хитростью воздвигнутое руками Тетюева, разлетится прахом от такой простой вещи, как встреча ухи с губой...

После трех рюмок водки у Майзеля совсем сделалось легко на душе, и он презрительно оглядывал всю остальную публику. Сарматов, прожевывая ломтик колбасы, рассказывал набобу самые удивительные случаи о своих охотничьих похождениях, а в том числе и о собаках.

— Представьте себе, Евгений Константиныч, — ораторствовал он, у меня была одна собака... Кстати, я знаю отличное средство, если кто боится собак: ни одна не укусит. Если вы идете, например, по улице, вдруг — навстречу псина, четвертей шести, и прямо на вас, а с вами даже палки нет, — положение

самое некрасивое даже для мужчины; а между тем стоит только схватить себя за голову и сделать такой вид, что вы хотите ею, то есть своей головой, бросить в собаку, — ни одна собака не выдержит. Честное слово... Я даже производил опыты с одним тигром в зверинце.

Сарматов показал пример, как нужно трясти головой, но мнения общества относительно заявленного средства разделились.

— Вздор! — решительно заявил Майзель.

— Честное и благородное слово, Николай Карлыч! Хотите пари?

— Извольте, но с условием: я положу свое пальто, на пальто положу свою собаку, — если вы возьмете из-под собаки пальто, вы выиграли.

— Идет!

Майзель торжественно разостлал на траве макинтош и положил на нем свою громадную датскую собаку. Публика окружила место действия, а Сарматов для храбрости выпил рюмку водки. Дамы со страху попрятались за спины мужчин, но это было совершенно напрасно: особенно страшного ничего

не случилось. Как Сарматов ни тряс своей головой, собака не думала бежать, а только скалила свои вершковые зубы, когда он делал вид, что хочет взять макинтош. Публика хохотала, и начались бесконечные шутки над трусившим Сарматовым.

— Это дрессированная собака, — оправдывался Сарматов, нимало не конфузясь. — Она только и умеет, что лежать на вашем пальто...

— Дорого бы я дал тому, кто подал бы мне мой макинтош! — хвастался Майзель, упоенный своими победами. — Господа, попробуйте!

В этот момент из толпы выделился Родион Антоныч, подошел к лежавшей собаке и прыснул на нее набранной в рот водой. Захваленный пес вскочил, поджал хвост и скрылся.

— Вот ваш макинтош, Николай Карлыч! — почтительно проговорил Родион Антоныч, подавая пальто Майзелю.

Старый охотник совсем опешил и не знал, что ему ответить. Публика тоже была очень смущена, но когда набоб засмеялся, взрыв

дружного хохота был наградой находчивости Родиона Антоныча, который с застенчивой улыбкой вытирал себе лицо платком.

— Это нечестно! — отрубил наконец взбешенный общим хохотом Майзель.

— Успокойтесь, Майзель! — уговаривал расходившегося старика набоб. — Этот господин поступил очень находчиво — и только... А Сарматов жестоко проврался! Я думал, что он совсем оторвет себе голову... А как фамилия этого господина, который прогнал вашу собаку?

— Сахаров, — сердито ответил Майзель.

— Ага! Да, очень находчиво.

Поданный обед сгладил неприятные последствия этого маленького эпизода. На столе в разных видах фигурировал только что убитый олень. Все участвующие, конечно, наперерыв старались уверить друг друга, что в жизнь свою никогда и ничего вкуснее не едали, что оленина в жареном виде — самое ароматное и тонкое блюдо, которое в состоянии оценить только люди «с гастрономической жилкой», что вообще испытываемое ими в настоящую минуту наслаждение ни с чем не

может быть сравниваемо и т. д. Выпитое за охотничьей закуской вино заметно оживило все общество, и даже генерал, видавший лес и охотников только на картинах, громко уверял Перекрестова, что и лес и охота — отличные вещи сами по себе. Секретари, занимавшие пост около «галок», совершенно были согласны с генералом; пьяный Летучий, особенно близко познакомившийся в эту поездку с Прозоровым, подтвердил слова генерала неожиданно вырвавшейся икотой. Вообще все имели особенное расположение к веселящим напиткам. Прейн пил вместе со всеми, но не пьянел, а только заметно делался глупее, что ему и доказала самым очевидным образом Нина Леонтьевна, запустив ему шпильку. Впрочем, Прейн не очень огорчился выходкой Нины Леонтьевны — это была та необходимая доза житейской горечи, которая делает наше счастье настоящим счастьем. Он видел два чудные глаза, которые смотрели на него таким понимающим, почти говорящим взглядом и смотрели только на него одного, потому что все остальные люди для этой пары глаз были только необходимым балла-

стом.

Глава 25

— Я уезжаю! — объявила Нина Леонтьевна генералу самым решительным тоном сейчас же после охотничьего завтрака.

Такой оборот дела поставил генерала в совершенный тупик: ему тоже следовало ехать за Ниной Леонтьевной, но Лаптев еще оставался в горах. Бросить набоба в такую минуту, когда предстоял осмотр заводов, значило свести все дело на нет. Но никакие просьбы, никакие увещании не привели ни к чему, кроме самых едких замечаний и оскорблений.

— Неужели, Нина, стоит обращать внимание на глупую болтовню такого человека, как Прозоров? — говорил генерал. — Обижаться его выходкам — значит, слишком мало уважать себя...

— Оставимте этот разговор, — коротко высказала свою волю Нина Леонтьевна, — я теперь убедилась окончательно, насколько вы меня цените...

— Нина, ради бога, в какое ты ставишь ме-

ня положение?

— Вы сами себя ставите, а не я... — зашипела «болванка». — Прозоров — ваш университетский товарищ, и вы так поставили себя с ним, что он совершенно безнаказанно может делать что хочет.

С логикой кровно обиженной женщины Нина Леонтьевна обрушилась всей силой своего негодования не на Прозорова, а на генерала, поставив ему в вину решительно все, что только может придумать самая пылкая фантазия, так что в конце концов генерал почувствовал себя глубоко виновным и даже не решался просить прощения. Притом все дамы были за Нину Леонтьевну и тоже изъявили желание вернуться к покинутым домашним очагам, причем даже не трудились подыскать мало-мальски подходящих предлогов для такого коллективного протеста. M-me Дымцевич была величественна и неумолима, как фатум; m-me Сарматова держала своих юниц за руки с таким видом, точно их невинности грозил самый воздух.

— Мы вас, во всяком случае, оставляем в таком приятном обществе, — говорила Нина

Леонтьевна генералу уже от лица всех дам, — что вы, вероятно, не особенно огорчитесь нашим отъездом... Здесь останутся три особы, которые имеют все данные, чтобы утешить вас всех...

— Нина, что ты говоришь? — взмолился генерал. — Опомнись... Бросать грязью в этих девушек просто несправедливо!

— Mesdames, вы слышали? — обратилась Нина Леонтьевна к своим сторонницам. — Я это знала вперед!

Момент получился критический, и интересы русского горного дела висели на волоске. Генерал колебался, оставаться ему здесь или последовать за Ниной Леонтьевной. То и другое решение могло иметь неисчислимые последствия. Но Нина Леонтьевна пересолила, и генерал, как это делают все бесхарактерные люди, махнул на все рукой. Будь что будет, а он останется в горах, чтобы провезти Лаптева на обратном пути по всем заводам. От такого варварского решения с Ниной Леонтьевной сделалось дурно, хотя в душе она желала, чтобы генерал остался в горах, и вместе с тем желала сорвать на нем расходившуюся желчь.

— Что тут такое: революция? — вмешался Прейн, появляясь точно из-под земли.

— Да, мы хотим огорчить вас и... уезжаем, — с деланным смехом ответила Нина Леонтьевна. — Не правда ли, это убьет вас наповал? Ха-ха... Бедняжки!.. Оставлю генерала на ваше попечение, Прейн, а то, пожалуй, с горя он наделает бог знает что. Впрочем, виновата! генерал высказывал здесь такие рыцарские чувства, которые не должны остаться без награды...

Прейн отлично понял, что хотела сказать Нина Леонтьевна, но, прищурив свои бесцветные глаза, только развел руками.

— Вы нам испортите всю поездку, Нина Леонтьевна, — серьезно проговорил он, бросая окурок сигары в траву. — Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного... кроме того, что мы не желаем быть здесь лишними. Притом вам предстоит с генералом еще столько серьезных занятий... ха-ха! Нет, довольно, Прейн! я не желаю вас мистифицировать: мы едем просто потому, что в горах слишком холодно.

— Я передам Евгению Константинычу, а с

своей стороны могу сказать только что пароход сейчас ушел...

— Как ушел?

— Я уже сказал, что у вас происходит какая-то революция: половина общества уже уехала, а теперь вы покидаете нас...

Нина Леонтьевна побелела даже через слой румян и белил: Прейн предупредил и отправил девиц вперед. Он сейчас после завтрака передал m-lle Эмме, что им пора убираться восвояси, m-lle Эмма сама думала об этом и потащила за собой Анниньку. Перекрестов и Братковский вызвались их сопровождать. К этому веселому обществу присоединились Прозоровы и доктор.

Положение дам получилось довольно некрасивое, но им больше ничего не оставалось, как только выдержать характер до конца. Пароход вернулся через три часа, и все дамы, простившись с Евгением Константинычем, отправились к пристани.

— Вы войдите в мое положение, — говорил дамам на прощанье Евгений Константиныч, желавший остаться любезным до конца. — Ведь с вашим отъездом я превращаюсь в ка-

кую-то жертву в руках генерала, который хочет протащить меня по всем заводам...

В виде почетной стражи к удалившимся дамам были приставлены «почти молодые люди» и Летучий, который все время своего пребывания в горах проспал самым бессовестным образом. Генерал проводил дам до пристани, где еще получил в виде задатка несколько колкостей как главный виновник всего случившегося.

— Славу богу, одним грехом меньше, — шепнул Прейн набобу, когда генерал вернулся на главную стоянку на Рассыпном Камне.

— Что такое случилось, — я решительно недоумеваю! — не понимал Лаптев.

— Самая обыкновенная история; по русской пословице: семь топоров лежат вместе, а два веретена врозь.

— Ага... Очень хорошая пословица. Семь топоров лежат врозь...

— Нет: вместе.

— Да, да... Семь топоров вместе... Очень остроумно сказано!..

Оставшись одни, все почувствовали себя свободными, особенно мужья. Присутствие

женщин связывало общество, потому что самые лучшие анекдоты приходилось рассказывать вполголоса и, главное, постоянно быть настороже, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а теперь все сняли с себя верхнее платье и остались в одних рубашках. Это было очень оригинально и приближало к простоте окружавшей природы; притом и пить приходилось очень много, потому что какое значение может иметь природа для цивилизованного человека, если она не вспрыснута дорогим вином. Даже генерал — и тот пил вместе с другими, чтобы разогнать тяжелое чувство ожидаемого возмездия. Вместе с тем, поглядывая на Евгения Константиныча, генерал соображал, как он потащит на буксире этого барчука высшей школы по всем заводам, а главное — в Куржак, на знаменитый железный рудник. Майзель, Вершинин, Дымцевич и Сарматов заметно оживились и наперерыв старались блистать самым непринужденным остроумием. Под шиханом лесообъездчиками была устроена на высоких козлах трапеция, и на ней «господа» показывали свою ловкость: Прейн вертелся как клоун и

поражал всех живостью и силой своего сколоченного жилистого тела. Остальные припомнили тоже кое-что из старины, и всякий в свою долю старался влезть, по крайней мере, на шест, чтобы не отстать от других. Набоб лежал на траве в одной рубашке и поощрял кувыркавшихся и потевших добровольцев, потому что любил упражнения этого рода. И сам он в былые времена тоже умел проделывать кое-что по части эквилибристики, но теперь зажирел и вообще сделался тяжел на подъем.

— А вы, Родион Антоныч, что не попробуете? — предлагал Прейн, когда все успели проделать свои номера.

— Я-с? Нет уж, Альберт Осипыч, увольте... — взмолился Родион Антоныч, отмахиваясь обеими руками. — Помилуйте, я уж старик, притом совсем почти слепой. С печи на полати едва перелезаю...

— Врет, все врет! — послышались голоса. — Какой он слепой! птицу в лет бьет! Нет, Родион Антоныч, пожалуйте!..

В общем хоре особенно энергично настаивал Майзель, который не мог простить Роди-

ону Антонычу его выходки с собакой. Набоб смеялся над смутившимся Ришелье и тоже упрашивал его попытать счастья на трапеции.

— Не могу-с, Евгений Константиныч, вот как перед богом, не могу! — упирался Родион Антоныч, умиленно прижимая обе руки к сердцу.

— Да вы попробуйте. Ведь прогнали же собаку Майзеля, — поощрял Лаптев, продолжая милостиво улыбаться. — На людях и смерть красна... Притом мы здесь совершенно одни, дам нет.

Стоявшие почтительно в сторонке лесообъездчики начали пересмеиваться, дескать, влопался наш Родька, как он полезет на петлю. Общее внимание и градом сыпавшиеся со всех сторон просьбы повергли Ришелье в окончательное смущение, так что он готов был замолчать самым глупым образом и из-за какой-нибудь дурацкой гимнастики разом потерять все внимание, какое успел заслужить в глазах набоба. Оставалось только лезть на трапецию, чтобы сверзиться оттуда мешком для общей потехи; но в это мгнове-

ние Родиона Антоныча осенила счастливая мысль, и он проговорил:

— Ей-богу, Евгений Константиныч, не могу насчет трапеции! А ежели вот на палке тянуться или по-татарски бороться...

— Как это по-татарски?

— А так-с, лежа, нога за ногу, а потом кто кого на голову поставит...

Эта идея очень понравилась набобу, и Прейн первый решился вступить с Ришелье в оригинальное ратоборство. Они легли рядом на траву ногами к голове и потом зацепили друг друга ногой в ногу; секрет борьбы заключался в том, чтобы давить скрюченной ногой ногу противника до тех пор, пока тот не встанет на голову. Получалась очень комичная сцена, и набоб хохотал от души, когда Прейн и Родион Антоныч надувались и краснели, стараясь осилить друг друга. Наконец, к общему удовольствию, Прейн кубарем полетел через голову, и ловкость Родиона Антоныча покрылась общими аплодисментами. Лесообъездчики рты разинули от удивления, как ловко Родька обтяпал барина. Ай да Родивон Антоныч, придумал штуку, почище господской

петли.

— Это очень интересно! — восклицал Евгений Константиныч, крайне довольный новой забавой. — Ну-ка, Родион Антоныч, со мной...

Это предложение заставило Родиона Антоныча в первое мгновение оторопеть. Он даже потер себе глаза: но нет, это была не галлюцинация, и Лаптев уже растянулся на траве и поднял ногу.

— Евгений Константиныч... ей-богу, не могу-с! не смею... — залепетал Родион Антоныч.

— Ничего, вздор! — решил Прейн, прихрамывая и щупая затылок. — Прямо меня на голову поставил...

Родиона Антоныча насильно уложили рядом с Лаптевым и заставили зацепить ногой барскую ногу. Бедный Ришелье только сотворил про себя молитву и даже закрыл глаза со страху. Лаптев был сильнее в ногах Прейна, но как ни старался и ни надувался, — в конце концов оказался побежденным, хотя Родион Антоныч и не поставил его на голову.

— Молодец!.. — хвалил Евгений Константиныч, поднимаясь с земли. — Право, я не подозревал, что так можно бороться. Как жаль,

что здесь нет Летучего, а то его следовало бы поставить на голову раз пять... Ха-ха! Вы, Родион Антоныч, может быть, еще что-нибудь умеете?

— Нет-с, Евгений Константиныч, больше ничего не умею... Разве вот на палке тянуться, а то ведь я все по письменной части.

Новый успех Родиона Антоныча покоробил Майзеля, и он процедил сквозь зубы:

— Дурацкая штука... глупость!..

Генерал тоже был недоволен детским легкомыслием набоба и только пожимал плечами. Что это такое в самом деле? Владелец заводов — и подобные сцены... Нужно быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком катанье по траве. Между тем время летит, дорогое время, каждый час которого является прорехой в интересах русского горного дела. Завтра нужно ехать на заводы, а эти господа утешаются бог знает чем!

— Генерал, вы что так насупились? — спрашивал Лаптев, заметив недовольную мину. — Не сердитесь, голубчик... Завтра ранним утром отправляемся в Куржак, и там мо-

жете делать со мной что хотите. Не правда ли, Прейн?

Погода была великолепная, точно сама природа благоприятствовала успехам прогрессировавшего русского горного дела. Вот уже третью ночь все общество проводило в горах, и какую ночь — хоть картину пиши! Вечером солнце село по всем правилам искусства: оно точно утонуло золотым шаром в пылавшем море крови, разливая по небу столбы колебавшихся розовых теней. Опять звездная бездна над головой, опять душистая прохлада северной ночи; кругом опять призраки и узорчатые тени по горам, а в самой выси, где небо раздавалось и круглилось куполом, легли широкие воздушные полосы набежавших откуда-то облачков, точно кто мазнул по небу исполинской кистью. Эти облачка сильно беспокоили Майзеля. Еще предстояло взять дупелиное болото, потом проведать медведя — и вдруг дождь, самый обыкновенный, глупейший дождь, который может зарядить дня на два! Что может быть обиднее? Родион Антоныч думал то же, расположившись на ночь около огонька. Он пережил столько в послед-

ние сутки, что долго не мог успокоиться и все щупал свою ногу, которая удостоилась прикасаться к ноге Евгения Константиныча... Ведь вот, поди ж ты, кто бы, кажется, мог придумать такую штуку!.. Да, боролся с самим Евгением Константинычем и был замечен, назло всем окружавшим Родиона Антоныча врагам. Если разобрать, что он такое в этой компании: червь, моль, былинка, колеблемая ветром! Он не умел рассказывать пикантных анекдотов, не умел придумывать новых кушаний — и вдруг: собака Майзеля и татарская борьба сразу подняли его на небывалую высоту! Зато теперь все грызут на него зубы — и Вершинин, и Дымцевич, и Майзель, и Сарматов. Особенно Майзель, который с чисто немецкой аккуратностью не умел прощать обид. Но что они все значили, даже взятые вместе, перед вниманием Евгения Константиныча, который изволил собственной ногой зацепить его рабью лапу? Вот-то обрадуется Раиса Павловна, когда узнает! А Прейн, шельма этакая, только улыбается, а того не подумает, каково было ему, Родиону Антонычу, единоборствовать с Евгением Константины-

чем. И во сне Ришелье несколько раз осторожно и с благоговением приподнимал осчастливленную ногу, точно эта нога составляла уже не часть его тела, а сам он составлял всем своим существом только ничтожный придаток к этой ноге.

К утру вспрыснул легкий дождь, напугав всех, но этот страх был совершенно напрасен. Дождь только освежил траву и лес, и солнце взошло с небывалой пышностью. Предрассветная туманная полоса, пеленавшая восток, точно дала широкую трещину, от которой все небо раскололось на мириады сквозивших розовым золотом щелей. Неудержимый поток света залил все небо, заставив спавшую землю встрепенуться малейшей фиброй, точно кругом завертелись мириады невидимых колес, валов и шестерней, заставлявших подниматься кверху ночной туман, сушивших росу на траве и передававших рядом таинственных процессов свое движение всему, что кругом зеленело, пищало и стрекотало в траве и разливалось в лесу тысячами музыкальных мелодий. Нужно было такому чуду свершаться исправно каждый день, чтобы люди смот-

рели на него, ковыряя пальцем в носу, как смотрел набоб и его приспешники, которым утро напоминало только о новой еде и новом питье.

Для охотничьего утра набоб проснулся очень поздно, потому что вчера целый день слишком много пил и ел; Прейну стоило большого труда растолкать его, причем оба ругались на трех языках. M-r Чарльз ожидал пробуждения своего повелителя с целым арсеналом принадлежностей туалета и холодным, презрительным взглядом смотрел на суетившуюся толпу управителей. Оседланные лошади нетерпеливо грызли удила, фыркали и взрывали землю копытами. Генерал с сигарой в зубах шагал по росистой траве, заложив руки за спину; он тоже поднялся не в духе, потому что в его профессорском теле сказалась чисто профессорская болезнь. В сторонке от главной стоянки распоряжался Майзель, отдавая приказания лесообъездчикам; он был великолепен всей своей петушиной, надутой фигурой, заученными солдатскими жестами и вообще всей той выправкой, какая бросается в глаза на плохих гравюрах из военной

жизни. Из лесообъездчиков Майзель хотел выбить какой-то эскадрон, точно готовился сейчас лететь в атаку.

— Генерал сердится... — объяснил Прейн, когда набоб снова бессильно опустил поднятую голову на подушку. — Наконец будет жарко, и охота пропадет. Теперь самый раз отправляться...

— Я сейчас... — бормотал набоб, натягивая на себя одеяло. — А на генерала мне наплевать... Вот еще мило: каторжный какой дался вам!

Прошел еще час, пока Евгений Константиныч при помощи Чарльза пришел в надлежащий порядок и показался из своей избушки в охотничьей куртке, в серой шляпе с ястребиным пером и в лакированных ботфортах. Генерал поздоровался с ним очень сухо и только показал глазами на стоявшее высоко солнце; Майзель тоже морщился и передергивал плечами, как человек, привыкший больше говорить и даже думать одними жестами.

— Извините, господа, — говорил Евгений Константиныч, усаживаясь за завтрак из холодной дичи. — Мы еще успеем. А где у меня

Brunehaul?

Собаку-фаворитку привезли только накануне, и она с радостным визгом принялась прыгать около хозяина, вертела хвостом и умильно заглядывала набобу прямо в рот. Другие собаки взвизгивали на сворах у егерей, подтянутых и вычищенных, как картинки. Сегодня была приготовлена настоящая парадная охота, и серебряный охотничий рог уже трубил два раза сбор.

— Замечательная собака! — говорил Лаптев, лаская своего пойнтера. — Какую стойку делает! Раз выдержала дупеля час с четвертью. Таких собак только две по всей России: у меня и у барона N*.

— А сколько она стоит? — любопытствовал кто-то.

— Вздор… Тысячи две, кажется.

— Ровно две тысячи, — подтвердил Прейн.

Наконец и завтрак был кончен. Серебряный рог протрубил сбор в третий раз, и Майзель скомандовал на коня. До Куржака было верст двадцать, но приходилось ехать верхами. Генерал тоже взмостился в седло и неловко держал поводья обеими руками, точно по-

саженная на лошадь монахиня; Родион Антоныч оказался верхом на мохноногом горбоносом киргизе. Около него вертелся и прыгал его сеттер Зарез, который до настоящей минуты находился на строгом попечении лесообъездчиков. Вся охотничья кавалькада длинным хвостом потянулась по западному склону горы, спускаясь по извилистой горной тропинке.

Когда съехали с Рассыпного Камня, тропинка расширилась, так что можно было ехать двоим в ряд. Генерал воспользовался этим случаем и, выровняв своего скакуна с английской охотничьей лошадью набоба, принялся отчитывать ему по части тех проклятых экономических вопросов, которые никогда не выходили из генеральской головы. Набоб слушал молча и наблюдал за движением ушей своей лошади, которая чутко прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала и напряженно взмахивала своим куцым энглизированным хвостом. Увлекшись своей речью, генерал не хотел замечать, что Евгений Константиныч думает совсем о другом и только делает вид, что внимательно слушает

его.

— Теперь важно на самом деле проверить наши теоретические построения, — ораторствовал генерал, неловко повторяя своим телом тяжелый прыжок лошади через ямы. — Увидев заводы, фабрики и фабричных рабочих, я многое уяснил себе, что раньше являлось только отвлеченным понятием, логической выкладкой... На заводы нужно смотреть, как на одну громадную машину, где главной двигающей силой, к сожалению, остаются рабочие руки. Это варварство, с одной стороны, а с другой — слабое место всякой промышленности. Именно эта живая сила составляет основание всех недоразумений, а потому задача всех крупных предпринимателей — как возможно шире применять механические двигатели: воду, пар, электричество наконец. Я не хочу этим сказать, что нужно сокращать количество рабочих: нет, до этого мы не доживем, слава богу, потому что наша фабричная промышленность, собственно, еще в зародыше. Но важно предупредить печальное недоразумение, то есть перевес предложения рабочих рук над спросом. Россия в этом слу-

чае стоит, по сравнению с Западной Европой, в самых выгодных условиях, и для нее рабочий вопрос, в обширном смысле этого слова, только вопрос отдаленного будущего. Печальный пример более цивилизованных государств должен нам служить указанием не повторять чужих заблуждений, хотя Наполеон Первый и сказал, что чужие ошибки не делают нас умнее.

— Да, да... — соглашался машинально набоб, думая совсем о другом.

Он почему-то теперь вспомнил о Луше и рассердился на Прейна, который не умел удержать дам в горах. Что они ссорятся и интригуют между собой, так это слишком старая история, чтобы обращать на нее внимание или не уметь помирить враждующие стороны. Собственно, набоб даже не знал, в чем дело, и не интересовался знать, но сердился на Прейна, который обязан был предвидеть и предупредить отъезд Луши. Пикантная это девочка и что-то в ней есть такое, чего нет в других. Трудно сказать — что, но именно вот этого теперь и недостает Евгению Константинычу. Притом, что этот генерал пристает к

нему с рассуждениями, точно впереди мало времени... Воображение набоба рисовало смелый и типичный образ девушки, которая не выходила у него из головы и точно дразнила его своей улыбкой.

— Евгений Константиныч, сейчас будет болото, — отрапортовал Майзель, подъезжая на рыжем иноходце.

— Ага!

— Нужно спешиться, Евгений Константиныч, а то мы распугаем птицу.

Егеря и лесообъездчики уже спешились и, выстроившись в две шеренги, с вытянутыми лицами ожидали дальнейших приказаний. Лошади фыркали и отмахивались хвостами от овода, собаки обнюхивали траву и сильно натягивали своры. Устроился импровизированный охотничий привал, хотя огня и не раскладывали из опасения испугать дичь.

Передав лошадей егерям, охотники, под предводительством Майзеля, побрели по болоту, которое светилось через жидкий перелесок. Под ногами сосала и чмокала вода; болотные кочки торчали травянистыми вихрами. Редкий болотистый ельник скоро рассту-

пился и открыл довольно широкое болото, очевидно образовавшееся из лесного озера; почва зыбко качалась под тяжестью проходивших людей, а самая средина была затянута высокой желтоватой травой, над которой пискливо звенели комары. У опушки леса все остановились и осмотрели ружья. Евгений Константиныч был с легкой бельгийской двустволкой, которая блестела на солнце своими полированными стволами с насечкой. Brunehaut, вздрагивая всем телом и виляя хвостом, ожидала приказания.

— Cherche![77] — тихо послал собаку набоб и сам пошел за ней в болото.

Уткнув нос в землю и вытянув хвост палкой, красавица Brunehaut шла впереди с той грацией, с какой ходят только кровные пойнтеры; она едва касалась земли своими тонкими и сильными ногами, вынюхивая каждую кочку. Только истинные охотники поймут торжественность наступившего момента, и даже набоб испытывал приятное волнение, наблюдая каждое движение искавшей собаки. Вот она припала носом к одному месту и слабо вильнула хвостом — значит, напала на

след дупеля; вот сделала несколько шагов вперед, приподняла переднюю ногу, вытянулась и точно застыла в живописной позе. Раздалось: пиль! — дупель мягко вспорхнул из-под самого носа собаки и, жалко кувыркнувшись в воздухе, так же мягко упал в траву. Дым и гром выстрела вспугнули еще двух дупелей, которые перелетели в другой конец болота. Охота началась счастливым выстрелом, и набоб положил в свой ягдташ теплую птицу, пестренькие красивые перышки которой были запачканы розовыми пятнами свежей крови.

Скоро лес огласился громким хлопаньем выстрелов: дупеля оторопели, перепархивали с места на место, собаки делали стойки, и скоро у всех участников охоты ягдташи наполнились дичью. Родион Антоныч тоже стрелял, и его Зарез работал на славу; в результате оказалось, что он убил больше всех, потому что стрелял влет без промаха.

— Ого, да вы настоящий охотник! — похвалил его Прейн, усаживаясь на кочку.

— Какой уж я охотник! — скромничал Ришелье, польщенный этой похвалой. — Вот Ев-

гений Константиныч уж точно: дохнуть не дадут.

После часовой охоты все присели отдохнуть. Началась проверка добычи и оценка достоинств стрелков. Сарматов убил меньше всех, но божился, что в молодости убивал влет ласточек пулей. Майзель расхвалил Brunehaut, которая так и просилась снова в болото; генерал рассматривал с сожалением убитых красивых птичек и удивлялся про себя, что люди могут находить приятного в этом избиении беззащитной и жалкой в своем бессилии пернатой твари.

— У меня была собака, — рассказывал Сарматов, размахивая руками, — пойнтер розовой масти... Уверяю вас: настоящей розовой. Это крайне редкий случай. И что же! Это собака раз выдержала трехчасовую стойку... Нынче уж таких собак нет.

— Моя Brunehaut выдержит час, — заметил Лаптев, лаская собаку.

— Нет, не выдержит! — посомневался кто-то. — Она теперь устала и разгорячилась.

— Выдержит.

Набоб поднялся и послал собаку снова в

болото; через несколько минут Brunehaut сделала стойку. Майзель достал часы и заметил время. Воцарилась напряженная тишина, которая нарушалась только сдержанным шепотом. Оставив собаку, Евгений Константиныч развалился на траве с самоуверенной улыбкой. Но не прошло двадцати минут, как Brunehaut не выдержала и спугнула дупеля. Раздался смех, и взбешенный набоб пустил вдогонку сконфуженной Brunehaut заряд бекасинника, который заставил ее дико взвыть и кубарем покатиться по траве. Ошеломленная болью собака визжала самым неистовым образом и отчаянно трясла своими шелковыми ушами, в которые впился бекасинник.

— Послушайте, Евгений Константиныч, это наконец варварство! — вспылил генерал, побледнев как полотно. — Можно делать что угодно, но этому... этому я не приберу даже подходящего названия!

Взбешенный набоб тоже побледнел и, взглянув на генерала удивленными, широко раскрытыми глазами, что-то коротко сказал Прейну по-английски; но генерал не слышал его слов, потому что прямо через болото от-

правился на дымок привала. Brunehaut продолжала оглашать воздух отчаянными воплями.

— Это невозможно! — по-английски же ответил Прейн набобу, укоризненно качая головой.

— А если я не желаю ехать дальше? Могу же я позволить себе хоть одно желание?

— Да, в другое время, а не теперь, — настаивал Прейн. — Вы расстроите своим капризом весь план нашей поездки.

— Ни шагу дальше, и сейчас же домой! — капризно повторял набоб. — Вы с генералом делаете из меня какого-то несчастного дупеля...

— Да ведь это ребячество! Продержать генерала в горах трое суток, обещать ехать по всем заводам и вернуться ни с чем... Вы не правы уже потому, что откладываете поездку из-за пустяков. Погорячились, изуродовали собаку, а потом капризничаете, что генерал сказал вам правду в глаза.

— Я уже слишком много слышал правды от генерала. Но что вы хотите наконец от меня? Собственно, он меня оскорбил, а не я его...

Я, впрочем, могу извиниться перед генералом, но дальше не поеду, хоть зарежьте.

Как ни уговаривал Прейн, как ни убеждал, как ни настаивал, как ни ругался — все было напрасно, и набоб с упрямством балованного ребенка стоял на своем. Это был один из тех припадков, какие перешли к Евгению Константиновичу по наследству от его ближайших предков, отличавшихся большой эксцентричностью. Рассерженный и покрасневший Прейн несколько мгновений пристально смотрел на обрюзгшее, апатичное лицо набоба, уже погрузившегося в обычное полусонное состояние, и только сердито плюнул в сторону.

Глава 26

Поездка в горы перепутала окончательно все ходы, так что друзья и противники перестали понимать друг друга. Сначала, без сомнения, все было на стороне партии Тетюева: во-первых, Раиса Павловна оставалась дома, потом ряд блестящих гастрономических побед, удачная охота на оленя... Но в момент, когда «мой Майзель» был на верху торжества, все здание, возведенное с таким трудом, пошатнулось в самом основании: сначала подвел Родион Антоныч с собакой, потом Прозоров угостил Нину Леонтьевну, далее татарская борьба того же Родиона Антоныча и наконец заряд бекасинника по Brunehaut,произведший резкую размолвку между генералом и набобом. Обиднее всего было то, что безголовый Прейн рассказал набобу эпизод с Прозоровым, и набоб хохотал над Ниной Леонтьевной. Таким образом надежды и упования партии Тетюева значительно побледнели и потеряли прежнее обаяние, а известно, как много значит в каждом деле вера в собственные силы. Если генерал не удержится на

прежней высоте, тогда трудно будет предвидеть будущее.

Генерал вернулся из-под Рассыпного Камня один, а за ним следом приехал и Евгений Константиныч в сопровождении всей свиты. Заводы остались неосмотренными, да об этом теперь никто и не заботился, даже сам генерал, который, кажется, махнул на все рукой. Добитая лесообъездчиками Brunehaut явилась камнем преткновения, через которое русское горное дело никак не могло переползти. Однако Прейн не дремал. Этот человек не переносил скандалов и резких выходок и поэтому скоро довел набоба до того, что тот высказал желание не только примириться с генералом, но и извиниться. С другой стороны, генерал, обсудив хладнокровно свою выходку, совершенно безупречную в нравственном смысле, нашел, что резкий тон этой выходки был подготовлен в нем неприятным отъездом Нины Леонтьевны, следовательно, он был несправедлив к набобу, который поступил так же, как делают другие охотники. Губить русское горное дело из-за таких пустяков, во всяком случае, не стоило, тем более

что столько уже было сделано и оставалось только подвести итоги.

— Извините, генерал... — добродушно проговорил набоб, являясь в генеральский флигель в сопровождении Прейна. — Мне самому жаль бедной Brunehaut. Погорячился...

Эта искренность растрогала генерала, и он с чувством пожал протянутую руку набоба.

— Оставимте это, Евгений Константиныч, — отвечал он. — Говоря откровенно, и я не совсем был прав, хотя и не виноват... Одним словом, пустяки и вздор, о котором не хочется вспоминать; а чтоб загладить неприятное впечатление этих пустяков, займемтесь делом серьезно. Времени уже много потеряно...

— О, да, да! Непременно займемтесь! — с живостью подтвердил Евгений Константиныч. — Я буду рад... Главное, все разом покончить, не откладывая в долгий ящик.

— Постараемся покончить, — соглашался генерал.

Примирение набоба с генералом разрешило все сомнения и опять придало храбрости унывавшим «тетюевцам», как их называл

Прозоров. Но это была только одна сторона медали. За визитом к генералу последовал визит набоба к Раисе Павловне. Конечно, все отлично понимали, зачем Евгений Константиныч сделал этот второй визит — уж, конечно, не для самой Раисы Павловны, а для Луши. Эта игра была слишком очевидна даже для непосвященных; поэтому ей и не придали особенно важного значения. Действительно, набоб встретил у Раисы Павловны Лушу и заметно обрадовался этой встрече.

— Как ваше здоровье, Раиса Павловна? — осведомился Евгений Константиныч с небывалой вежливостью. — Право, оно меня начинает сильно беспокоить...

— Ах, отстаньте, пожалуйста! Охота вам обращать внимание на нас, старух, — довольно фамильярно ответила Раиса Павловна, насквозь видевшая набоба. — Старые бабы, как худые горшки, вечно дребезжат. Вы лучше расскажите о своей поездке. Я так жалею, так жалею, что не могла принять в ней участие. Все говорят, как вы отлично стреляли...

Луша сидела на стуле рядом с Раисой Павловной и при последних словах едва заметно

улыбнулась. Она точно выросла и возмужала за последнее время и держалась с самой непринужденной простотой, какая дается другим только путем мучительной дрессировки. Набоб заметил улыбку Луши и тоже улыбнулся: они понимали друг друга без слов.

— Эта поездка для меня лично явилась рядом неудач, — ответил набоб, бросая в глаз, неизвестно для чего, монокль. — Единственным объяснением этих неудач является, Раиса Павловна, только ваше отсутствие.

— Ах! как это трогательно, Евгений Константиныч!

— Уверяю вас. Дело кончилось тем, что мы чуть не разодрались с генералом, вернее, чуть он меня не поколотил...

— И следовало бы поколотить: зачем стреляли в собаку, — заметила Луша с серьезным видом. — Вот чего никогда, никогда не пойму... Убить беззащитное животное — что может быть хуже этого?..

Подняв плечи, Луша вызывающе посмотрела на набоба злыми глазами. Эта смелость испугала Раису Павловну, но набоб только улыбнулся и с ленивой улыбкой, играя своим

стеклышком, проговорил:

— Скажите, вы не будете на меня в претензии, если я вас буду называть так же, как Раиса Павловна? А то ваше имя такое длинное и мудреное, что язык вывихнешь... Вы позволяете, Раиса Павловна? Я хотел сказать, что вы, mademoiselle Луша, были причиной смерти бедной Brunehaut. Если бы вы так внезапно не уехали, собака была бы жива... Представьте себе, Раиса Павловна, наше положение: вдруг все дамы бросают нас в лесу на произвол судьбы. С горя мы пили целую ночь, потом дурачились, а конец вам известен. Говоря по справедливости, нас и обвинять нельзя, а меня в особенности. Я слишком был огорчен, чтобы давать себе отчет в собственных поступках.

Набоб был любезен, как никогда, шутил, смеялся, говорил комплименты и вообще держал себя совсем своим человеком, так что от такого счастья у Раисы Павловны закружилась голова. Даже эта опытная и испытанная женщина немного чувствовала себя не в своей тарелке с глазу на глаз с набобом и могла только удивляться самообладанию Луши, ко-

торая положительно превосходила ее самые смелые ожидания: эта девчонка положительно забрала в руки набоба.

Они сидели в небольшой голубой гостиной, из которой стеклянная дверь вела на садовую веранду. Обитая голубым атласом с желтыми шнурами мягкая мебель, маленький диван с стеганой спинкой, вроде раковины, шелковые тяжелые драпировки, несколько экзотических растений по углам, мраморные группы у одной стены — все это так приятно гармонировало с летним задумчивым вечером, который вносил в открытую дверь пахучую струю садовых цветов. Сильно пахло левкоями, которые Раиса Павловна особенно любила. Лучи закатывавшегося солнца лениво бродили по паркетному полу рассеянной золотой пылью, которая ярко вспыхивала на бронзовых бра, на ручках дверей и тонких золотых багетах. Набоб сидел на стуле, заложив ногу за ногу, и легонько раскачивался, когда начинал смеяться; летняя пара из шелковой материи, цвета смуглой южной кожи, обрисовывала его сильное, по уже начавшее брюзгнуть тело. Из-под раструба панталон выстав-

лялись шелковые пестрые чулки, потому что набоб дома всегда носил мягкие башмаки. Луша была в своем единственном нарядном платье из чечунчи; сначала она сидела рядом с Раисой Павловной, а потом перешла на диван.

Раиса Павловна с материнской нежностью следила за всеми перипетиями развертывавшейся на ее глазах истории и совершенно незаметно оставила молодых людей одних, предоставляя руководить ими лучшего из учителей — природу. Когда платье Раисы Павловны, цвета античной бронзы, скрылось в дверях, набоб, откинув нетерпеливо свои белокурые волнистые волосы назад, придвинул свой стул ближе к дивану и проговорил:

— Mademoiselle Луша, а вы мне еще не дали ответа на тот вопрос, который я предложил вам там... в горах?

— Ах, да... Но ведь это был такой серьезный вопрос, что я до сих пор еще не решалась даже приступить к его обсуждению, — отшучивалась Луша, улыбаясь своими потемневшими от удовольствия глазами. — Притом, я думала, что вы уже успели забыть...

— Это несправедливо!..

— Пожалуй... Но вы забываете, что я уже дала слово доктору?

— Что же мне делать? Вызвать доктора на дуэль?

— Я думаю, что это будет самое лучшее... Вы отлично стреляете бекасинником.

— Злая!

В полузакрытых глазах набоба вспыхнул чувственный огонек, и он посмотрел долгим и пристальным взглядом на свою собеседницу, точно стараясь припомнить что-то. Эта девчонка положительно раздражала его своим самоуверенным тоном, который делал ее такой пикантной, как те редкие растения, которые являются каким-то исключением в среде прочей зеленой братии.

— Скажите откровенно, зачем вы так неожиданно уехали с горы? — спрашивал Евгений Константиныч, припоминая неприятное чувство, когда он ехал на дупелиную охоту по дороге в Куржак.

— Вы не поймете, — ответила Луша спокойно.

— Позвольте! В таком случае, значит, вы

меня считаете просто за осла. Я могу обидеться наконец!

— Можете, но и я могу желать не отвечать вам... Впрочем, вам лучше спросить объяснения у Прейна.

Луша так и сказала, совсем фамильярно: «у Прейна», и даже не думала поправиться, что опять задело набоба за живое. Он подумал сначала, что m-lle Луша не умеет себя держать и сама не понимает, что сказала, но, взглянув на ее лицо, убедился, что если кто не понимает ничего, так это он.

Раиса Павловна осталась очень довольна поездкой набоба в горы, раз — потому, что Прозоров ловко смазал «болванку», а затем — потому, что отношения между Лушей и набобом пережили самый двусмысленный и нерешительный период. С Лушей у Раисы Павловны по этому поводу не было никаких интимных объяснений, но по сосредоточенному, немножко усталому взгляду карих глаз своей любимицы опытная женщина заключила вполне основательно, что случилось именно то, чего она желала: набоб объяснился с Лушей. Поведение набоба доказывало это

неопровержимейшим образом, потому что он держал себя с Лушей с утонченной вежливостью и, кажется, не знал, чем угодить этой взбалмошной девчонке, которая ничего не хотела замечать. В голове Раисы Павловны бродили тысячи дум, планов и соображений, так что она даже забывала о самой себе. Очевидно, набоб высказывает самые серьезные намерения относительно Луши, и теперь дело за согласием Луши... Конечно, это будет неравный брак, но разве мало таких mésalliance[78] устраивают русские набобы. Пока Раиса Павловна ничего не говорила Луше о своей мечте, предоставляя все дело его естественному течению. Ее теперь больше всего беспокоило то, как взглянет на mésalliance Прейн: этот старый грешник больше всего, кажется, заботится о себе и делает вид, что ничего не видит и не замечает. От зоркого глаза Раисы Павловны не ускользнуло то влияние, каким пользовался Прейн над Лушей, но, как многие умные женщины, она была убеждена, что ей только стоит объяснить Луше, что за птица Прейн — и умная девочка поймет все. Слишком занятая интим-

ными отношениями, Раиса Павловна с замиранием сердца следила, как раскрывалась страница любви в жизни ее фаворитки, забывая о своих собственных делах.

А между тем дело принимало такой серьезный оборот, что это понял наконец и сам Платон Васильич. Этот странный человек сопровождал набоба в горы, принимал участие в обедах и завтраках, говорил, когда его спрашивали, но без Раисы Павловны всегда оставался совершенно незаметным, так что о нем, при всем желании, трудно было сказать что-нибудь. Бывают такие люди, и господь их знает, как они живут, если не попадут в руки какой-нибудь умной и энергичной женщины. Платон Васильич вечно был занят своей фабрикой и машинами и только о них и мог постоянно думать, — все остальное для него проходило точно в тумане, а особенно таким туманом был покрыт приезд набоба. Как это ни странно сказать, но главный управляющий Кукарскими заводами знал меньше всех, что делалось кругом. Самый маленький заводский служащий, который бегал с пером за ухом, и тот знал малейшие подробности при-

езда набоба, отношения враждовавших партий и все эпизоды поездки в горы. Платон Васильич ел и вершининскую уху и маринованную губу, а о столкновении Нины Леонтьевны с Прозоровым узнал уже по возвращении в Кукарский завод, где служащие рассказали ему и о ссоре генерала с набобом.

— Но я ведь сам был на дупелиной охоте, — задумчиво говорил Платон Васильич. — Видел, как убили собаку, а потом все поехали обратно. Кажется, больше ничего особенного не случилось...

Раиса Павловна просто потешалась над этой наивностью мужа и нарочно морочила его разными небылицами, а когда он надоедал ей своими глупыми вопросами, — выгоняла из своей комнаты. Уйти на фабрику для Платона Васильича было единственным спасением; другим спасением являлись разговоры с генералом о нуждах русского горного дела.

Раз, довольно рано утром, когда Платон Васильич вышел пройтись по саду, на одном повороте аллеи он встретился с Прейном и Лушей, которые шли рядом. Заметив его, Прейн

отодвинулся от своей спутницы и выругался по-английски, назвав Горемыкина филином.

— Ах, это ты, Луша! — удивился Платон Васильич, здороваясь с Прейном.

— Да, а это — вы... — грубо ответила девушка. — Вы ничего не потеряли здесь?

— Нет, кажется, ничего. А что?

— Да у вас такой вид, точно вы что-нибудь ищете.

— Да, да... Ты шутишь? — догадался наконец Горемыкин и потом с самым глупым видом прибавил, обращаясь к Прейну: — Не правда ли, какая сегодня отличная погода?

— Да, ничего... скверная, — отвечал Прейн, стараясь попасть в тон Луши. — Скажите, пожалуйста, мне показалось давеча, что я встретил вас в обществе mademoiselle Эммы, вон в той аллее, направо, и мне показалось, что вы гуляли с ней под руку и разговаривали о чем-то очень тихо. Конечно, это не мое дело, но мне показалось немного подозрительно: и время такое раннее для уединенных прогулок, и говорили бы тихо, и mademoiselle Эмма все оглядывалась по сторонам...

— Что вы хотите сказать этим? — недоуме-

вал Платон Васильич. — Я иногда гуляю в саду, но только один... Не понимаю, как вы могли меня видеть с mademoiselle Эммой.

— В таком случае нужно будет спросить у Раисы Павловны, что значит такие ранние tête-à-tête[79], — смеялся Прейн. — Вам направо?

— Нет, налево.

— Ну, так нам с вами не по пути... До свидания.

Платон Васильич в раздумье несколько минут постоял на месте, посмотрел вслед быстро удалявшейся парочке и пошел своей дорогой: «Не понимаю! ничего не понимаю!..» А утро было славное, хотя и холодное после вчерашнего дождя. Песок кое-где был смыт с утоптанных дорожек, в ямах стояли лужи мутной воды, следы ног ясно отпечатывались на мокром грунте; дувший с пруда ветерок колебал верхушки берез и тополей, блестевших теперь самой яркой зеленью. Около купальни и набережной с шумом разбивались пенившиеся волны. По небу ползли разорванными клочьями остатки рассеявшихся туч, точно грязные лоскутья серых лохмотьев,

сквозь которые ярко сквозило чистое голубое небо и вырывались снопы солнечных лучей. Садовник с ножницами ходил около помятых вчерашним ветром кустов сирени и отрезывал сломанные ветви; около куртин, ползая по мокрой траве, копались два мальчика в ситцевых рубашках, подвязывавшие подмятые цветы к новым палочкам. На песке виднелся отпечаток двухколесной тележки, прокатившейся здесь ранним утром с разным мусором; тут же тянулись следы босых ног с резким отпечатком пальцев.

— Зачем ты смеялась над этим филином? — говорил Прейн, предлагая Луше руку.

— А ты зачем делал то же?

— Я смеялся, глядя на тебя...

— А я смеялась потому, что эта глупая рожа мне надоела. Скажите на милость, что этому Платону Васильичу понадобилось в саду в такое время? Еще разболтает чего-нибудь сглупа. Мне все равно, а все-таки меньше разговоров — лучше... Скоро ли вы прогоните этого дурака, Прейн?

— Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь...

— Обманываешь?

— На днях комиссия начнет свои работы, и тогда конец Горемыкину.

— Ах, как я желала бы, чтобы эта накрахмаленная и намазанная Раиса Павловна полетела к черту, вместе с своим глухонемым мужем. Нельзя ли начать какой-нибудь процесс против Раисы Павловны, чтобы разорить ее совсем, до последней нитки... Пусть пойдет по миру и испытает, каково жить в бедности.

— Нет, это невозможно.

— Ах, как я ненавижу эту Раису Павловну, если бы ты знал! Ведь она теперь мечтает... ха-ха!.. ни больше, ни меньше, как о том, чтобы выдать меня за Лаптева, а я разыгрываю пред ним наивную провинциалочку. Глупо, досадно и опять глупо...

— Погоди, мы все устроим, — ласковым шепотом проговорил Прейн, осторожно привлекая к себе девушку за талию. — У нас все будет, мы поживем в свою долю...

— Да, все это так... я не сомневаюсь. Но чем ты мне заплатишь вот за эту гнилую жизнь, какой я жила в этой яме до сих пор? Меня всегда будут мучить эти позорнейшие воспоминания о пережитых унижениях и нашей бед-

ности. Ах, если бы ты только мог приблизительно представить себе, что я чувствую! Ничего нет и не может быть хуже бедности, которая сама есть величайший порок и источник всех других пороков. И этой бедностью я обязана была Раисе Павловне! Пусть же она хоть раз в жизни испытает прелести нищеты!

Прейн был почти у цели. Есть люди, которые родятся в сорочке, и к таким людям, конечно, принадлежал этот философ-бонвиван. Сердце Луши принадлежало ему безраздельно, и он распоряжался в нем, как неограниченный монарх, хотя этому владычеству и были приданы неуловимые формы. Прейн действовал с той ласковой настойчивостью и мягкой самоуверенностью, какие неотразимо действуют на женщин. Луша поверяла ему свои задушевные мысли и чувства, как лучшему другу, и сама удивлялась, что могла снизойти до таких нежностей. В ее глазах старый грешник являлся совершенством человеческой природы, каким-то чародеем, который читал у ней в душе и который пересоздал ее в несколько дней, открыв пред ее глазами новый волшебный мир. Что так старательно

развивалось и подготовлялось Раисой Павловной в течение нескольких лет, Прейном было кончено разом: одним ударом Луша потеряла чувство действительности и жила в каком-то сказочном мире, — к которому обыденные понятия и мерки были совершенно неприложимы, а прошлое являлось каким-то жалким, нищенским отребьем, которое Луша сменяла на новое, роскошное платье. Все будет новое; по одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозможные чудеса, которые он положит к ее ногам. У Луши кружилась голова, и она ходила, как в тумане. Все то, что слышала она от отца и доктора о какой-то честной жизни, о новых людях, о заветных идеалах — все это не пустой ли бред, который на каждом шагу разбивается действительностью? Взять хоть того же отца, Раису Павловну, других — все говорят одно, а делают другое, обманывают сами себя и в конце концов портят себе жизнь. Прейн, по крайней мере, не притворяется, называет вещи их настоящими именами и обещает только то, что действительно в состоянии исполнить. Под влиянием Прейна Луша перероди-

лась с такой же быстротой, с какой северные цветы в две-три недели из зеленой почки развертываются всеми своими красками в пышное растение.

— Как все это случилось — я сама не могу дать себе отчета, — говорила иногда в минуты раздумья Луша, ласкаясь к Прейну. — Ведь ты — старый, выдохшийся жуир, я тебя ненавидела и боялась сначала и теперь иногда ненавижу... Но меня что-то тянет к тебе, мне хорошо и легко в твоем присутствии, а когда ты уходишь, меня гложет тоска. Зачем? Почему? Ничего не знаю и ничего знать не хочу... Мне просто хорошо; хорошо теперь, вот сейчас, когда я смотрю на тебя и когда но думаю о будущем. Я недавно читала историю Мазепы. Этого старика тоже любила одна молоденькая хохлушечка, Матрена Кочубей. По-русски «Матрена» нехорошо звучит, а по-хохлацки русская Матрена превращается в М*о*треньку... Мазепа был старше тебя, но гораздо лучше. Какие письма писал он своей М*о*треньке! Ах, Прейн, я иногда сама не знаю, что говорю и что делаю. То мне хочется петь и танцевать, иногда плакать, иногда убежать,

иногда умереть...

Луша хваталась за голову и начинала истерически хохотать. Сам все испытавший Прейн пугался такого разлива страсти, но его неудержимо тянули к Луше даже дикие вспышки гнева и нелепые капризы, разрешавшиеся припадками ревности или самым нежным настроением. Вдвоем они вволю смеялись над набобом, над генералом с его «болванкой», надо всеми остальными; но когда речь заходила о Раисе Павловне, Луша бледнела и точно вся уходила в себя: она ревновала Прейна со всем неистовством первой любви.

— Ты ее любил... да? — спрашивала Луша тысячу раз. — Не отпирайся, я знаю...

— О нет же, тысячу раз нет! — с спокойной улыбкой отвечал каждый раз Прейн. — Я знаю, что все так думают и говорят, но все жестоко ошибаются. Дело в том, что люди не могут себе представить близких отношений между мужчиной и женщиной иначе, как только в одной форме, а между тем я действительно и теперь люблю Раису Павловну как замечательно умную женщину, с совершенно

особенным темпераментом. Мы с ней были даже на «ты», но между нами ничего не могло быть такого, в чем бы я мог упрекнуть себя...

— Ах, верю... и все-таки не могу поверить: это выше моих сил. В сущности, я не особенно забочусь о будущем, потому что знаю только одно, что я хочу быть всегда свободной... всегда!.. Даже тогда, когда ты обманешь меня. Ведь ты целую жизнь обманывал женщин, и одной больше — одной меньше для тебя ничего не значит. К чему все это говорю я тебе?.. Да... Какая я была глупая раньше, еще так недавно!.. Мечтала, что буду богатой-богатой, у меня будет своя коляска, бриллианты, поклонники, ложа в театре. А теперь... Мне все это надоело, прежде чем я испытала удовольствие обладания настоящим богатством. Ведь тебе ничего не стоит выбросить пятьдесят тысяч, чтобы устроить мне настоящее гнездышко... да? Конечно, я никогда не унижу себя... Ах, я так хорошо представляю себе свое будущее! Пройдет полгода, потом тебе надоест, и ты с своей обычной ловкостью постараешься сбыть меня какому-нибудь другому жуиру, чтобы сейчас же перейти к новому счастью.

— Луша! ты забываешь золотое правило: всякий человек имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом...

— Нет, уж позвольте, Альфред Иосифович... Я всегда жила больше в области фантазии, а теперь в особенности. Благодаря Раисе Павловне я знаю слишком много для моего возраста и поэтому не обманываю себя относительно будущего, а хочу только все видеть, все испытать, все пережить, но в большом размере, а не на гроши и копейки. Разве стоит жить так, как живут все другие?

Оставаться в своем флигельке для Луши теперь составляло адскую муку, которая увеличилась еще тем, что Виталий Кузьмич жестоко разрешил после поездки в горы и теперь почти не выходил из своей комнаты, где постоянно разговаривал вслух, кричал, хохотал и плакал. Луше делалось просто страшно, когда она оставалась одна с отцом; его постоянный крики смех болезненно раздражали ее напряженные нервы, и она по целым часам, против воли, прислушивалась к бессвязной болтовне отца, которая вертелась главным образом около текущих событий. Это была са-

мая беспощадная философия отчаяния в лицах, пересыпанная меткими сравнениями, остроумными замечаниями и просто красными словечками. Конечным выводом этой философии получалось заключение, что все люди поголовно мерзавцы, только в разной степени, а так называемые порядочные и честные люди — или идиоты, или жертвы известных общественных законов. Везде зло, мелкие животные инстинкты и всеобщее непонимание; истинные союзники враждуют, враги идут под ручку, противоположности сходятся. Получается болезненно-яркая путаница всяких понятий об «истине, добре и красоте». Свои взгляды и убеждения Прозоров иллюстрировал, причем доставалось всем — и набобу, и Прейну, и генералу, и Тетюеву.

К довершению всех бед, под предлогом помощи Прозорову, в гнилой флигелек повадился ходить Яша Кормилицын, который испытывал мучительную жажду видеть Лушу хотя издали, что вполне объяснялось психологическими, антропологическими и социальными причинами.

Все в природе строго законно, и не пропа-

дает напрасно самое малейшее движение, следовательно, и посещения Яшей Кормилицыным Прозоровского флигелька в общей экономии природы и в ряду социальных явлений должны были иметь высшее научное объяснение.

— Яшка! — кричал Прозоров, размахивая руками. — Зачем ты меня обманываешь? Но ты напрасно являешься волком в овечьей шкуре... Все, брат, потеряно для тебя, то есть потеряно в данном случае. Ха-ха! Но ты, братику, не унывай, поелику вся сия канитель есть только иллюзия! Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу.

Доктор садился в уголок, на груду пыльных книг, и, схватив обеими руками свою нечесаную, лохматую голову, просиживал в таком положении целые часы, пока Прозоров выкрикивал над ним свои сумасшедшие тирады, хохотал и бегал по комнате совсем сумасшедшим шагом.

Глава 27

Нина Леонтьевна поклялась, что столкновение ее с Прозоровым дорого обойдется Раисе Павловне. Официально она оставалась по-прежнему больна, но это не мешало ей заправлять и руководить всем заговором.

Первой заботой ее было доставить обещанную аудиенцию у набоба Тетюеву, и такая аудиенция наконец состоялась. Часа в два пополудни, когда набоб отдыхал в своем кабинете после кофе, Прейн ввел туда Тетюева. Земский боец был во фраке, в белом галстуке и в белых перчатках, как концертный певец; под мышкой он держал портфель, как маленький министр.

— Очень рад... Много слышал о вас, — встретил Тетюева набоб, пережевывая эти стереотипные фразы. — Не угодно ли вам садиться... Вероятно, Прейн передал вам о предполагаемой консультации?

— Да, да... Мне это тем более приятно, что я буду иметь возможность ясно и категорически высказать те интересы Ельниковского земства, которые доверены мне его предста-

вителями, — отцедил Тетюев, закладывая свободную руку за борт сюртука. — Лично против заводов, а тем более против вас, Евгений Константиныч, я ничего не имел и не имею, но я умру у своего знамени, как рядовой солдат.

— Садитесь, пожалуйста! — предложил еще раз Лаптев, рассматривая коренастую фигуру человека, приготовившегося умирать у знамени. — Ваши слова могут сделать большую честь каждому общественному деятелю...

Поклонившись в ответ на комплимент набоба, Тетюев с напускной развязностью занял стул около письменного стола; Прейн, закурив сигару, следил за этой сценой своими бесцветными глазами и думал о том, как ему утишить ненависть Луши к Раисе Павловне.

— Я полагаю, Евгений Константиныч, что кукарское заводоуправление в своих отношениях к Ельниковскому земству действовало на свой страх, — продолжал Тетюев, выцеживая свое profession de foi[80] с прежним апломбом. — Я хочу этим сказать, что слишком высоко ценю лично ваши просвещенные

и высокогуманные взгляды на идею земства и льщу себя надеждой, что именно ваше содействие устранит все недоумения. Например, гора Куржак приносит земству всего два рубля семнадцать копеек дохода!

— Скажите... целая гора?

— Да, гора Куржак, которая заключает в себе тридцать миллиардов лучшей в свете железной руды.

Для набоба оба известия были настоящим открытием, и он даже посмотрел с недоумением на Прейна, который равнодушно пускал в пространство синие круги дыма. Польщенный вниманием и изумлением набоба, Тетюев обрушился на его голову целым потоком статистических данных и даже вытащил из портфеля объемистую тетрадь, испещренную целыми столбцами бесконечных цифр. Но эта тетрадь была совсем лишнею: Евгений Константиныч уже истощил весь запас своего удивления и посмотрел на Прейна беспокойным взглядом, точно искал у него защиты. Однако Тетюев, увлекшись, ничего не хотел замечать и осыпал набоба такой массой новых открытий, что тот окончательно потерял-

ся и даже зевнул в руку. Кстати, в этот критический момент Евгений Константиныч вспомнил о генерале, который должен все это знать и все устроить.

— Хорошо, хорошо... Мы постараемся все это устроить общими силами, — заговорил Лаптев, поднимаясь с места и протягивая руку Тетюеву.

— Я...

— Вы подробно изложите свои взгляды на консультации...

— Я, Евгений Константиныч...

— А занятия консультации должны быть кончены в самом непродолжительном времени.

— Я, Евгений Константиныч, буду всегда высоко держать знамя земского обновления, — торжественно провозгласил Тетюев, откланиваясь.

В консультацию, кроме генерала, Прейна и Тетюева, вошли Вершинин и «мой Майзель». Платон Васильич тоже должен был занять место в этом совете бессмертных, но захворал, и на его место был назначен представителем Родион Антоныч. Конечно, такое на-

значение клеврета Раисы Павловны было встречено партией Тетюева с скрежетом зубовным, но, очевидно, Родиону Антонычу покровительствовал сам Прейн, а с этим приходилось мириться поневоле. Ришелье заявился в собрание «князей и владык мира сего» с самым смиренным видом; он всем кланялся, улыбался заискивающей улыбкой: но все отлично знали пущенную в курятник лису и держали ухо востро. Тетюев морщился и делал вид, что не замечает своего заклятого врага; Майзель не отвечал на поклоны Родиона Антоныча и даже несколько раз толкнул его локтем в бок, конечно, не намеренно. Ввиду такого враждебного настроения Родион Антоныч сначала испытывал большое «угнетение чувств», но, как человек, попавший из темноты прямо на большой свет и ослепленный им, мало-помалу огляделся и самым благочестивым образом занял свое место.

— Смотрите, Родион Антоныч, я вам все доверила, — говорила Раиса Павловна, когда отправляла своего Ришелье на консультацию, — я уверена, что мы выиграем и что вы постоите за себя, но только не трусьте. Ведь

они умные только за обедами да за завтраками, а тут нужно будет дело делать. Тетюев болтун, и на него не обращайте внимания. Генерал... Ах, Родион Антоныч, Родион Антоныч! Это — самый жалкий и бессильный человек, каких я только видела; из него можно все сделать, поэтому вы не бойтесь его ни на волос... Есть одна пьеса — «Свадьба Фигаро», так там горничная говорит: «Ах, как умные люди иногда бывают глупы!..» Вот именно такой человек генерал.

— А Нина Леонтьевна? — спрашивал смущенный Ришелье.

— Нина Леонтьевна... да от нее и сыр-бор загорелся; в ней, конечно, вся сила, но ведь она не будет принимать участие в консультации, следовательно, о ней и говорить нечего.

Но как ни уговаривала Раиса Павловна своего Ришелье, как ни старалась поднять в нем упадавший дух мужества, он все-таки трусил генерала и крепко трусил. Даже сердце у него екнуло, когда он опять увидал этого генерала с деловой нахмуренной физиономией. Ведь настоящий генерал, ученая голова, профессор, что там Раиса Павловна ни гово-

ри...

Заседания консультации происходили в длинной комнате, где помещалась богатая старинная библиотека, собранная Лаптевыми в их путешествиях по Европе. Большинство книг было на иностранных языках. Библиотекой, кроме Прозорова, никто не пользовался, и все эти дорогие издания в роскошных переплетах стояли в шкафах без всякой пользы. Теперь посредине комнаты был поставлен длинный стол, покрытый зеленым сукном; кругом стола были расставлены мягкие кресла, и только одному Родиону Антонычу был предложен простой деревянный стул. Против каждого сиденья была положена пачка чистой бумаги и карандаш; центр стола занимали две стопки разных юридических книг, нужных для справок; горный устав, сборник узаконений о крестьянах, земское положение и т. д. Вообще вся эта торжественная обстановка придавала консультации такой вид, точно в библиотеке готовились заседания какого-нибудь европейского конгресса. Генерал занял председательское кресло, около него поместились Тетюев и Майзель; Вершинин и

Родион Антоныч сидели дальше, через стол. На открытие первого заседания явился и сам Евгений Константиныч в сопровождении Прейна и Перекрестова; генерал хотел уступить свое место набобу, но тот великодушно отказался от этой чести. Перекрестов с нахальной улыбкой окинул глазами шкафы книг, зеленый стол, сидевших консультантов и, вытащив свою записную книжечку, поместился с ней в дальнем конце стола, где в столичных ученых обществах сидят «представители прессы».

— Господа! — заговорил генерал официальным сухим тоном, поднимаясь с места. — Мы собрались здесь для очень важного дела, и я считаю своей обязанностью выяснить главные цели нашей консультации. Русская промышленность прогрессирует с каждым годом, и с каждым годом ее интересы захватывают все большую и большую область, соприкасаясь с областями других отраслей производительной деятельности нашей страны. Понятно, что при таком близком соприкосновении разных заинтересованных учреждений, отраслей и лиц происходят неизбежные недо-

разумения, препирательства и крупные столкновения. Нам приходится иметь дело в настоящем случае с интересами и задачами собственно уральской горной промышленности, в частности — с специально заводскими интересами Кукарского заводского округа, поскольку они связаны с интересами заводского населения, земства и внутренней администрации. Я обращаю особенное ваше внимание, господа, на приведенные сейчас рубрики; мы начнем именно с них, чтобы разрешением этих вопросов расчистить почву для более широких начинаний уже в области русской промышленности вообще, где пред нами встанут другие вопросы и другие задачи. В настоящем случае важно то, что мы будем обсуждать поставленные вопросы с разных точек зрения, для чего в состав консультации вошли лица различных профессий и различных сфер деятельности. По-моему, именно от такого разнообразного состава зависит вполне беспристрастное решение нашей задачи, и я надеюсь, что всякий из нас внесет свою лепту в общий труд, чтобы сказать вместе с баснописцем:

И моего тут капля меду есть...

Генерал перевел дух, посмотрел через очки на слушателей и, облокотившись рукой на кучку лежавших перед ним деловых бумаг, обратился к набобу:

— Евгений Константиныч! скажу еще несколько слов собственно вам. Помните, Евгений Константиныч, евангельскую притчу о рабе, который получил десять талантов, приумножил их новыми десятью талантами и возвратил своему господину уже не десять талантов, в вдвое больше. Вы именно так поступаете, как этот евангельский раб, собрав нас сюда для работы, которая может иметь значение государственной важности. Время безучастного отношения заводовладельцев к своему специальному делу давно миновало: кому дано много, с того и взыщется много. Вы хорошо поняли это и теперь принимаете участие в нашем общем труде, как наш собрат. Эта готовность послужить общему благу является лучшим залогом успеха. Говорю это как человек науки, который может только пожелать, чтобы и другие заводовладельцы отнеслись к своему делу с такой же энергией и, что

особенно важно! с такой же теплотой и искренним участием.

Набоб поклонился и сказал на это приветствие несколько казенных фраз, какие говорятся в таких торжественных случаях. Родион Антокыч сидел все время как на угольях и чувствовал себя таким маленьким, точно генерал ему хотел сказать: «А ты зачем сюда, братец, затесался?» Майзель, Вершинин и Тетюев держали себя с достоинством, как люди бывалые, хотя немного и косились на записную книжку Перекрестова.

— Чтобы не терять напрасно времени, мы прямо приступим к тому вопросу, который отчасти и вызвал поездку Евгения Константиныча на заводы, — вновь начал генерал, перебирая бумаги около себя. — Я хочу сказать о недоразумениях, которые возникли между кукарским заводоуправлением — с одной стороны, и крестьянским обществом — с другой. Кстати, мне пришлось хорошо познакомиться с этим вопросом из первых рук: я имел случай несколько раз говорить с представителями крестьянского общества, а кроме того, я получил довольно обстоятельный доклад,

собственно, от кукарского заводоуправления специально по этому делу.

«Вот оно когда началось-то...» — подумал Родион Антоныч, чувствуя, как его вперед прошибло холодным потом.

А генерал уже достал из портфеля объемистую тетрадку и положил ее перед собой; в этой тетрадке Родион Антоныч узнал свою докладную записку, отмеченную на полях красным карандашом генерала, — и вздохнул свободнее. Рядом с этой рукописью легла мужицкая бумага, тоже размеченная и подчеркнутая. Началось длинное чтение, которое в первые же десять минут нагнало тоску на Евгения Константиныча, так что ему стоило большого труда, чтобы удержаться и не заснуть. Прейн поймал эту мальчишескую выходку и едва заметно покачал головой. Чтение докладной записки и мужицкой бумаги продолжалось битый час, а за чтением генерал сказал свое короткое резюме и открыл прения. Майзель и Тетюев нападали на несправедливость действия кукарского заводоуправления по отношению к крестьянскому обществу в том смысле, что заводоуправление то допус-

кало напрасные послабления, то устраивало бесполезные прижимки; Вершинин отмалчивался, ожидая, что скажет сам генерал.

— Я решительно и во всем обвиняю заводоуправление, — резал Майзель, обрадовавшись случаю сорвать злость. — Отсутствие выдержки, неумение поставить себя авторитетно, наконец профанация власти — все это, взятое вместе, и создало упомянутые недоразумения.

— Не угодно ли будет вам, господин Сахаров, высказаться по этому вопросу? — предложил генерал, когда стороны были выслушаны.

Родион Антоныч не смутился и пункт за пунктом принялся разбивать обвинения своих противников, причем воодушевился настолько, что удивил всех своей смелостью и отчетливым знанием дела.

— Да это — тот самый, который, помнишь, прогнал собаку Майзеля, а потом боролся со мной по-татарски? — спрашивал набоб Прейна.

— Да, секретарь Горемыкина. Делец... — коротко аттестовал Прейн, с удовольствием

слушая ораторствовавшего Родиона Антоныча.

Завязались прения, причем Родиону Антонычу приходилось отъедаться разом от троих. Особенно доставалось бедному Ришелье от Вершинина, который умел диспутировать с апломбом и находчивостью. Эта неравная борьба продолжалась битых часа полтора, пока стороны не пришли в окончательный азарт и открыли уже настоящую перепалку.

— Господа, я полагаю, лучше будет выслушать самих крестьян, а потом уже продолжать дебаты, — предложил Прейн, желая спасти Родиона Антоныча от разгромления.

Все шумно поднялись с своих мест и продолжали спорить уже стоя, наступая все ближе и ближе на Родиона Антоныча, который, весь красный и потный, только отмахивался обеими руками. «А Прейн еще предлагает привести сюда мужиков...» — думал с тоской бедный Ришелье, чувствуя, как почва начинает колебаться у него под ногами.

— До завтра, господа! — кричал генерал, стараясь заглушить споривших. — А завтра мы выслушаем крестьянских ходоков... Это

будет лучше.

Прямо с консультации Тетюев, Майзель и Вершинин отправились в генеральский флигелек, к Нине Леонтьевне, а Родион Антоныч побрел к Раисе Павловне, где и встретил Прейна, хохотавшего, как сумасшедший. Раиса Павловна тоже смеялась и встретила своего Ришелье с необыкновенной любезностью.

— Устали вы, Родион Антоныч? — спрашивала она, усаживая его в кресло. — Кофе подать вам или закусить? Слышала, все слышала... Настоящую вам баню задали — ну, что делать, нужно потерпеть!

— Уж потерпим, пока терпится, — согласился уныло Родион Антоныч, вытирая платком лицо и шею.

— Все отлично идет! — хвалил Прейн, потирая руки. — Как на заказ!

— А с мужиками вы зачем назвались, Альфред Осипыч? — корил Родион Антоныч. — Нечего сказать, отлично... Да они всю душу вымотают, а толку все равно не будет никакого.

— С мужиками еще лучше будет, — весело отвечал Прейн. — А вы держите свою ли-

нию — и только. Им ничего не взять... Вот увидите.

— Генерал-то молчит что-то.

— И пусть молчит... А Евгению Константинычу очень понравился ваш доклад. Он узнал вас.

Конечно, все это было приятно и утешительно, но перспектива новых битв пугала Родиона Антоныча, потому что один в поле не воин. Ох, грехи, грехи!

На следующий день действительно были приглашены на консультацию волостные старички с Кожиным, Семенычем и Вачегиным во главе. Повторилась приблизительно та же сцена: ходоки заговаривались, не понимали и часто падали в ноги присутствовавшему в заседании барину. Эта сцена произвела неприятное впечатление на Евгения Константиныча, и он скоро ушел к себе в кабинет, чтобы отдохнуть.

— Чего они хотят от меня? — спрашивал он Прейна. — Удивляюсь... И к чему это унижение, эти поклоны! Ведь теперь не крепостное право, все одинаково свободные люди.

— Это верно, но и к свободе нужно при-

выкнуть, — объяснял Прейн. — Эти земные поклоны еще остатки крепостного права, когда заводских мастеровых держали в ежовых рукавицах.

— Зачем же эти униженные просьбы, — я все-таки не пойму. Если дело мастеровых правое, тогда они стали бы требовать, а не просить... Разве мой Чарльз будет кланяться кому-нибудь в ноги?

Родион Антоныч не ошибся в своих расчетах: присутствие мужиков окончательно перепутало весь ход работ консультации. Эти живые документы разных заводских неправд, фабрикованных ловкими руками Родиона Антоныча, производили известное впечатление на генерала, не привыкшего обращаться с живыми людьми. «Какие разговоры с мужичьем, — думал Родион Антоныч про себя, — в шею их, подлецов. Нет, в три шеи, да еще отпороть на прибавку, чтобы пустяками не занимались. Ох, времена!» Но главным неудобством в положении Родиона Антоныча была его совершенно фальшивая роль и этом деле: он насквозь видел всех, видел все ходы и выходы и должен был отмалчиваться. Тот же Те-

тюев и Майзель толкуют за мужиков, а сами из-за мужицкой спины добивают Раису Павловну. Дай-ка им в руки этих мужиков, да они бы из них лучины нащепали. А генерал всякому ихнему слову верит, потому что они по-образованному умеют говорить, ученые слова разговаривают. Тоже если взять и заводское дело: плетут из пятого в десятое, а настоящей сути все-таки нет. Разве такие порядки должны быть? Вон Прейн, даром что немец, а всех видит... Ох, тонкий, оборотистый человек, только не провел бы он нас с Раисой Павловной. Даже крестьянские ходоки — и те перестали ломать шапку перед Родионом Антонычем, а краснобай Семеныч, встретив его на улице, с необыкновенной развязностью спросил:

— А што, Родивон Антоныч, бают, у тебя супротив енарала-то неустойка выходит? Ты вот нам прижимку сделал, а енарал по душе все хочет разобрать...

Это уж было слишком. Все кругом рушилось, и дни Раисы Павловны были сочтены. Тетюев одолевал генерала с земством, а в сущности Раису Павловну подсиживал. И

умен только, пес, уродился, такие углы загибает генералу, что успевай слушать! Дальше Вершинин начал сильно гадить — тоже мужик не в угол рожей, пожалуй, еще почище будет Авдея Никитича. Одним словом, чем дольше шли работы консультации, тем положение Ришелье делалось невыносимее, и он уже потерял всякую веру даже в Прейна, у которого вечно семь пятниц на неделе. К Раисе Павловне Сахаров редко заглядывал, ссылаясь на работу. Ввиду всех этих грозных признаков, омрачавших горизонт, бедный кукарский Ришелье находил единственное утешение в своем курятнике, где и отдыхал душой в свободные часы. Известно, что все великие исторические люди питали маленькие слабости к разным животным, может быть выплачивая этим необходимую дань природе, потратившей на них слишком много ума.

А партия Тетюева торжествовала совсем открыто, собираясь у Нины Леонтьевны, где об изгнании Раисы Павловны все говорили, как о деле решенном. Параллельно с этим торжеством начинались новые происки и интриги, причем недавние союзники начинали

играть уже «всяк в свои козыри», потому что каждому хотелось занять место Горемыкина. Конечно, это место всего легче было добыть через посредство Нины Леонтьевны, курсы которой поднялись необыкновенно высоко. И в самом деле, она не только привезла набоба на Урал, но и руководит каждым шагом генерала. Кроме общих совещаний, каждый из тетюевцев старался выслужиться перед Ниной Леонтьевной частными визитами, причем происходили забавные встречи, неожиданности и недоразумения. Тетюев подозревал Вершинина, Майзель — Тетюева, Вершинин — Тетюева и Майзеля; одним словом, заварилась настоящая дипломатическая каша, в которой больше всех выигрывала Нина Леонтьевна.

Перекрестов, бывший всегда там, где везло счастье, находился в числе непременных гостей Нины Леонтьевны и расточал перед ней самые лестные речи.

— Без вас, Нина Леонтьевна, никому и ничего не сделать бы, — говорил представитель русской прессы, приятно осклабляясь. — Хотите, я напишу о вас целый фельетон?

Вперемежку с этой неисчерпаемой ложью Перекрестов искал блох у Коко или сплетничал про все и про вся. Нина Леонтьевна очень ценила этого литературного человека и в ответ на его любезности предложила ему небольшую работу.

— Знаете что, — сообщила она, — я говорила о вас с Мироном, и мы решили передать вам одни заказ... Именно, вы будете писать историю фамилии заводовладельцев Лаптевых.

— Я с удовольствием... — соглашался Перекрестов, целуя у Нины Леонтьевны ручку.

— Условия работы такие: пока будете работать — три тысячи в год, за работу пять тысяч, а если ваша работа понравится Евгению Константинычу, тогда он, без сомнения, наградит вас по-царски.

— Благодарю, благодарю вас, Нина Леонтьевна. Чем я могу заплатить вам за внимание к моим слабым силам?

— Угадайте, чем можете заплатить? Ха-ха... Как это наивно, чтобы не сказать больше! Вы можете сослужить большую службу русскому горному делу своим пером... Догада-

лись?

— Помилуйте, Нина Леонтьевна, да зачем же я сюда и ехал?.. О, я всей душой и всегда был предан интересам горной русской промышленности, о которой думал в степях Северной Америки, в Индийском океане, на Ниле: это моя idée fixe[81]. Ведь мы живем с вами в железный век; железо — это душа нашего времени, мы чуть не дышим железом...

— Я понимаю вас, Перекрестов, — сентиментально проговорила Нина Леонтьевна, тронутая этим патетическим монологом.

— И я отлично вас понимаю, Нина Леонтьевна! — воскликнул Перекрестов. — Мне было достаточно увидать вас... И уж никогда я не сравню вас с другими женщинами! Знаете, Нина Леонтьевна, Раиса Павловна считает себя самой умной женщиной и не подозревает, как вы ей салазки смажете... Ха-ха! Вы сослужите русскому горному делу золотую службу, Нина Леонтьевна!

Заручившись симпатиями Нины Леонтьевны, а также выгодной работой по части жизнеописания Лаптевых, Перекрестов тоже возмечтал. Ведь в самом деле, мыкался, мы-

кался он по всем континентам, продавал все и всех, заискивал, льстил, унижался и все-таки гол как сокол! Надо же когда-нибудь и остепениться! В бесшабашной голове Перекрестова мелькнула счастливая мысль: а что, если бы ему, Перекрестову, занять место Горемыкина... а?.. На эту интересную тему Перекрестов продумал целую ночь, набросал даже в своей книжечке на всякий случай план реформ, какие он произведет в Кукарских заводах, и весь следующий день ходил с самым таинственным видом, точно какой-нибудь заговорщик.

— Что это с тобой сделалось? — с участием спрашивал его Летучий. — Уж не болит ли у тебя живот?

Глава 28

Пока шла ожесточенная борьба партий, беззаботная половина человеческого рода веселилась напропалую, изобретая каждый день новое удовольствие. Под предлогом развлечения Евгения Константиныча устраивались гулянья в саду, семейные вечера, катанья по пруду на лодках, пикники и т. д. Молодежь находила тысячи средств веселиться, пока люди зрелого возраста рыли друг другу волчьи ямы, злословили и преисполнялись самыми ожесточенными мыслями и чувствами. Анниника и m-lle Эмма проводили время в обществе Братковского, Перекрестова и Летучего самым веселым образом и находили, что лучшего ничего и желать невозможно. Особенно так думала Анниника, формально объяснившаяся Братковскому в любви.

— Я тоже вас люблю... — лениво ответил поляк. — Только обещать вам ничего не могу, потому что...

— Ах, боже мой! Да разве я что-нибудь требую от вас? — задыхающимся шепотом говорила Анниника, блестя своими темными глаз-

ками. — Ведь вы скоро уедете... времени остается так мало.

В ответ на это Братковский целовал Анниньку и шепотом говорил тот любовный вздор, который непереводим ни на какой язык, хотя отлично понимается всеми, как музыка без слов. Как все влюбленные девушки, Анниника таскала за собой Братковского по разным тенистым уголкам в саду, одолевала его массой записочек и ревновала даже к Нине Леонтьевне. Конечно, каждый вечер m-lle Эмма должна была выслушать бесконечную болтовню Анниньки, которая изнывала от душившей ее потребности рассказать кому-нибудь о своем счастье. M-lle Эмма любила, раздевшись и улегшись в постель, долго жевать что-нибудь сладкое: сосала леденцы, грызла орехи, доедала припасенное заранее мороженое и конфеты, причем погружалась в сладкое созерцательное настроение, как жующая жвачку овечка. Анниника пользовалась этим моментом душевного расслабления своей подруги, забиралась к ней с ногами на кровать и принималась без конца рассказывать о своей любви, как те глупые птички, кото-

рые щебечут в саду на заре от избытка преисполняющей их жизни. Таким образом m-lle Эмма имела удовольствие узнать все достоинства пана Братковского, который был совершенством человеческой природы и, наверное, происходил из какой-нибудь старинной королевской фамилии.

— Отлично, все отлично, — лениво соглашалась m-lle Эмма, рассматривая свои упругие круглые руки. — А этот переодетый принц не рассказывал тебе, сколько он таких дур, как ты, надул на своем веку? Спроси как-нибудь.

— Да мне-то какое дело? Конечно, надувал и еще сто дур надует, а все-таки я его люблю. Если бы ты, Эминька, знала, как я этого красивого мерзавца люблю! Право, я съела бы его или задушила бы, если бы могла... Глаза у него какие, Эминька!

— Дурища ты безголовая, Апька, вот что я тебе скажу! — полушутя, полунаставительно говорила m-lle Эмма.

— Что же, Эминька, разве я не знаю, что я глупенькая... «Галка», как Прозоров говорит. Все равно пропадать, так хоть месяц поживу

в свое удовольствие!

В припадке нежности и отчаяния Апниньк а и плакала, и хохотала, и сто раз принималась целовать m-lle Эмму — в лицо, шею, даже ее голые точеные руки.

— Ты смотри, как Лушка устроилась, — говорила m-lle Эмма, напрасно стараясь отбиться от поцелуев Анниньки. — Не бойсь, не по-нашему с тобой... Мне, ей-богу, она начинает нравиться: умная! Вон как Прейна забрала, а уж, кажется, он весь свет оплетет. И сама себя бережет, лишнего ничего не позволит. Так и следует поступать умной девушке, а то поцеловались два раза — и кончено! точно разварная рыба, хоть ты ее с хреном ешь, хоть с горчицей. Лушка и Раису Павловну проведет... Та ее за Лаптева прочит... Ха-ха! Ей-богу, я начинаю любить эту Лушку!

В минуту отдыха, раздевшись и прикрыв свое круглое белое тело одеялом, m-lle Эмма любила пофилософствовать на разные житейские темы, причем все у ней выходило как-то необыкновенно спокойно и чуть-чуть было приправлено тонкой и умной насмешкой. В этом сколоченном на заказ организме, рабо-

тавшем, как машина, для философии отчаяния не оставалось ни одного свободного уголка, потому что m-lle Эмма служила живым воплощением самого завидного душевного равновесия. Даже такие критические обстоятельства, которые теперь заставляли весь кукарский господский дом, со всеми флигелями и пристройками, переживать самые тревожные минуты, не беспокоили особенно m-lle Эмму, хотя она, после падения Раисы Павловны, буквально должна была идти на улицу, не имея куда приклонить голову. Сама Раиса Павловна в минуты отчаяния посылала за m-lle Эммой, и одно присутствие этой жирной, как семга, немки успокаивало ее расходившиеся нервы. К передрягам и интригам «большого» и «малого» двора m-lle Эмма относилась совсем индифферентно, как к делу для нее постороннему, а пока с удовольствием танцевала, ела за четверых и не без удовольствия слушала болтовню Перекрестова, который имел на нее свои виды, потому что вообще питал большую слабость к женщинам здоровой комплекции, с круглыми руками и ногами.

Слушая болтовню Анниньки, m-lle Эмма

припоминала свой последний разговор с Перекрестовым, который сделал ей довольно откровенное предложение, имея в виду открывавшуюся вакансию главного управляющего Кукарскими заводами.

— Мы люди умные и отлично поймем друг друга, — говорил гнусавым голосом Перекрестов, дергая себя за бороденку. — Я надеюсь, что разные охи и вздохи для нас совсем лишние церемонии, и мы могли бы приступить к делу прямо, без предисловий. Нынче и книги без предисловий печатаются: открывай первую страницу и читай.

— Что вы хотите сказать этим? — сердито спрашивала m-lle Эмма, чувствовавшая, что тут дело идет совсем не об ее уме.

— Вы меня отлично понимаете, mademoiselle Эмма; к чему притворяться? Мы устроились бы в Петербурге отлично. У меня есть работа, известное обеспечение; наконец, очень солидные виды на будущее, которым вы остались бы довольны...

Бессовестно льстя уму и прочим добродетелям m-lle Эммы, Перекрестов высказал самое откровенное желание поближе познако-

миться с ее круглой талией, но получил в ответ такой здоровый удар кулаком в бок, что даже смутился. Смутился Перекрестов, проделывавший то же самое во всех широтах и долготах, — это что-нибудь значило! Но m-lle Эмма не думала разыгрывать из себя угнетенную невинность и оскорбляться, а проговорила совершенно спокойно:

— Нет, батенька, это дело нужно оставить: у вас ничего нет, и у меня ничего нет — толку выйдет мало. Я давно, знаю эти умные разговоры, а также и то, к чему они ведут... Одним словом, поищите дуры попроще, а я еще хочу пожить в свою долю. Надеюсь, что мы отлично поняли друг друга.

В последнее время Братковский имел меньше времени для свиданий с Анниньокой, потому что в качестве секретаря генерала должен был присутствовать на консультации, где вел журнал заседаний и докладывал протоколы генерала, а потом получил роль в новой пьесе, которую Сарматов ставил на домашней сцене. С секретарскими работами Анниньока мирилась, но чтобы ее «предмет» в качестве jeune premier[82] при всех на сцене

целовал Наташу Шестеркину, — это было выше ее сил.

— Я этой Наташке все глаза выцарапаю, — уверяла Анниника в порыве справедливого негодования. — Вот увидишь, Эминька, как кошка, так и вцеплюсь. Пусть тогда Братковский целуется с ней.

— Нашла кого ревновать, — презрительно замечала m-lle Эмма. — Да я на такого прощелыгу и смотреть-то не стала бы... Терпеть не могу мужчин, которые заняты собой и воображают бог знает что. «Красавец!», «Восторг!», «Очаровал!» Тьфу! А Братковский таращит глаза и важничает. Ему и шевелиться-то лень, лупоглазому... Теленок теленком... Вот уж на твоем месте никогда и не взглянула бы!

Анниника зажимала рот m-lle Эмме рукой и продолжала свое, как ее ни уговаривала рассудительная подруга, не любившая в жизни никакой суеты, даже в любви. Но уговорить Анниньку было не так-то легко: она скрежетала зубами, рвала на себе волосы и вообще страшно неистовствовала. Иногда она старалась не думать о готовившемся спектакле, но ее точно подталкивал какой-то бес и

шептал на ухо: «Вот теперь Братковский идет на репетицию... вот он в уборной у Наташи и помогает ей гримироваться... вот он улыбается и смотрит так ласково своими голубыми глазами». Бедная «галка» ходила, как помешанная, и, не имея сил преодолеть чувства ревности, решилась накрыть Братковского на самом месте преступления, то есть подкараулить на одной из репетиций.

Сарматов, так милостиво отмеченный набобом, хотел удивить мир злодейством, как сам характеризовал свою театральную затею. Он не щадил ни себя, ни других, чтобы удивить набоба блестящей постановкой пьесы. Нужно было выбрать такую пьесу, где можно было бы показать всех кукарских красавиц разом. После долгих колебаний Сарматов остановился на одной из комедий Потехина. В число исполнителей были завербованы все наличные силы и, между прочим, Луша Прозорова. Последним Сарматов подкупил всесильного Прейна, который молча и многознаменательно пожал руку театральному директору.

— Старый артиллерист все видит и умеет

молчать, как рыба, Альфред Осипыч, — ответил на это пожатие Сарматов.

— Благодарю, благодарю... А какой костюм нужно будет сделать для Прозоровой?

— Костюм? Можно белый, как эмблему невинности, но, по-моему, лучше розовый. Да, розовый — цвет любви, цвет молодости, цвет радостей жизни!.. — говорил старый интриган, следя за выражением лица Прейна. — А впрочем, лучше всего будет спросить у самой Гликерии Виталиевны... У этой девушки бездна вкуса!

Прейн улыбнулся и фамильярно потрепал старого солдата по плечу.

Луша с удовольствием согласилась принять участие в спектакле, потому что сидеть в своем флигельке и слушать пьяный бред отца ей было хуже смерти. Она еще никогда не играла на сцене и с любопытством новичка увлекалась даже неприглядной изнанкой театра. Ей нравилась эта длинная мрачная казарма, служившая временным помещением для театра. Сколоченные на живую руку подмостки едва освещались двумя-тремя дрянными лампами, и эта убогая любительская

сцена, загроможденная кулисами и декорациями, терялась в окружавшем мраке громадного здания мутным пятном. Подойдя к рампе, Луша подолгу всматривалась в черную глубину партера, с едва обрисовавшимися рядами кресел и стульев, населяя это пространство сотнями живых лиц, которые будут, как один человек, смотреть на нее, ловить каждое ее слово, малейшее движение. Перспектива сценической деятельности как-то вдруг досказала Луше то, чего ей недоставало: вот где ее место... Девушке нравилось здесь все — и затхлый, застоявшийся воздух, пропитанный запахом свежей краски от декораций, керосином и еще какой-то гнилой дрянью, и беспорядочность закулисной обстановки, и общая бестолковая суматоха, точно она попала в трюм какого-то громадного корабля, который уносил ее в счастливую даль. Что-то фантастическое чувствовалось кругом, точно какая детская сказка без начала и конца... А главное, вся эта театральная обстановка как нельзя больше отвечала душевному настроению Луши. Ведь вся эта нескладная театральная суматоха и всеобщая путаница являлась толь-

ко живым сколком и продолжением того, что считалось за действительность в господском доме; те же декорации и кулисы, тот же оптический обман на каждом шагу и только меньше фальши и лжи, хотя актеры и актрисы должны были изображать совсем других людей.

Даже неистовство Сарматова нравилось Луше, потому что он неистовствовал от чистого сердца, не скрывая своего желания выслужиться. В пылу усердия он кричал на всех каким-то неестественным тонким голосом, как поют молодые петухи, ходил по сцене театрально-непринужденным шагом, говорил всем дерзости и тысячью других приемов старался вдохнуть в своих сотрудников по сцене одолевший его артистический жар. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной и Канунниковой, которые не раз плакали от выходок Сарматова и все-таки продолжали приносить непосильные жертвы на алтарь искусства.

— Наталья Ефимовна! актриса должна себя держать совсем непринужденно на сцене!.. — кричал Сарматов на конфузившуюся Шестеркину. — А вы не знаете, куда деваться

с руками... Наталья Ефимовна! ради всего святого уберите ваши коленки! Ах, боже мой! Извините! коленки вы убрали, а зачем, с позволения сказать, начинаете выпячивать живот и переваливаетесь, как гусыня. А вы, mademoiselle Канунникова, вы держите голову с таким трудом, точно она набита у вас свинцовой дробью. Держитесь свободно, не стесняйтесь! Вон посмотрите на Братковского: этот гусь точно родился на сцене, а между тем я чувствую, что он-то и провалит меня, без ножа зарежет... Признайтесь, Гуго Альбертович, ведь вы до сих пор своей роли ни в зуб толкнуть и будете удить рыбу из суфлерской будки?..

Братковский только улыбался и даже не давал себе труда отшучиваться.

На репетициях, кроме официально назначенных актеров, толпились в качестве добровольцев Перекрестов с Летучим. Эти «почти молодые люди» постоянно заглядывали в дамскую уборную и старались заслужить внимание любительниц разными мелкими услугами: переставляли стулья, носили переписанные роли и даже пришивали пуговицы,

когда это требовалось. Перекрестов толкался на сцене из любви к искусству и отчасти движимый желанием поволочиться за хорошенькими женщинами при той сближающей обстановке, какую создают любительские спектакли. Что касается Летучего, то этот прогоревший сановник, выдохшийся даже по части анекдотов из «детской жизни», спился окончательно и приходил в театр с бутылкой водки в кармане, выпивал ее через горлышко где-нибудь в темном уголке, а потом забирался в самый дальний конец партера, ложился между стульями и мирно почивал.

— Театр — это цивилизующая сила, — ораторствовал Перекрестов, забравшись в дамскую уборную. — Она вносит в темную массу несравненно больше, чем все наши университеты и школы. Притом сцена именно есть та сфера, где женщина может показать все силы своей души: это ее стихия как представительницы чувства по преимуществу.

Театральная суматоха была нарушена трагико-комическим эпизодом, который направлен был рукой какого-то шутника против Сарматова. Именно, во время одной репетиции,

когда все актеры были в сборе, на сцене неожиданно появилась Прасковья Семеновна, украшенная розовыми бантиками.

— Мне нужно видеть директора театра, — спрашивала она совершенно серьезным тоном, отыскивая глазами Сарматова.

— К вашим услугам, сударыня, — с комической вежливостью расшаркивался Сарматов, напрасно придумывая какую-нибудь остроумную шуточку над полусумасшедшей девушкой. — Чем могу служить вам?

— Я получила приглашение от вас играть роль первой любовницы, — с прежним спокойствием проговорила Прасковья Семеновна, не замечая насмешливых улыбок. — Вот я и пришла...

— Это недоразумение, Прасковья Семеновна... — смутился Сарматов от такой неожиданности. — У нас уже есть первая любовница.

Этот ответ исказил добродушно-сосредоточенное лицо Прасковьи Семеновны; глаза у ней сверкнули чисто сумасшедшим гневом, и она обрушилась на директора театра целым градом упреков и ругательств, а потом броси-

лась на него прямо с кулаками. Ее схватили и пытались успокоить, но все было напрасно: Прасковья Семеновна отбивалась и долго оглашала театр своим криком, пока пароксизм бешенства не разрешился слезами.

— Меня все обманывают, — шептала несчастная девушка, глотая слезы. — И теперь мое место занято, как всегда. Директор лжет, он сам приглашал меня... Я буду жаловаться!.. О, я все знаю, решительно все! Но меня не провести! Да, еще немножко подождите... Ведь уж он приехал и все знает.

Нашлись такие любители скандалов, которые хотели потешиться над заговаривавшейся девушкой, но какая-то добрая рука увела ее со сцены под одним из тех предлогов, при помощи которых заставляют уходить из комнаты детей. На Лушу этот маленький эпизод подействовал крайне тяжело, и она просидела все время в уборной, пока Прасковья Семеновна кричала и плакала на сцене. Но после репетиции, когда Луша проходила по узкому коридорчику между кулисами, кто-то в темноте схватил ее за руку точно железными клещами, так что она даже вскрикнула от ис-

пуга и боли.

— А, попалась… Ха-ха!.. — кричал хриплый голос, по которому Луша едва узнала Прасковью Семеновну. — Ты отбила мое место, но я тебе устрою штуку. Ты будешь меня помнить… Ха-ха!..

Луша чувствовала на себе пристальный взгляд сумасшедшей и не смела шевельнуться; к ее лицу наклонялось страшное и искаженное злобой лицо; она чувствовала порывистое тяжелое дыхание своего врага, чувствовала, как ей передается нервная дрожь чужого бешенства. Подоспевший на выручку Братковский помог освободиться Луше от этого объяснения, и она едва добрела до уборной, где и упала в обморок. Поднялась новая суматоха, послали за доктором, но Луша пришла в себя сейчас же, как ее вспрыснули холодной водой. Она долго сидела на грязном диванчике в уборной, плохо понимая, что делается кругом, точно все это был какой-то сон, тяжелый и мучительный. Только когда в дверях уборной показалась длинная фигура доктора Кормилицына, Луша точно проснулась.

— Не нужно, ничего не нужно… — прогово-

рила она, жестом прося доктора не входить. — Мне лучше... Это пустяки. Не говорите ничего отцу.

— Что такое случилось? что с вами, мой ангел? — кричал Прейн, врываясь в уборную: его тоже успел кто-то предупредить. — Ах, как я испугался...

— Напрасно... Может быть, лучше было бы умереть, — проговорила Луша, начиная сердиться. — Уходите, пожалуйста... «мой ангел»!

В последнее время все стали замечать, что Прасковья Семеновна сильно изменилась: начала рядиться в какие-то бантики, пряталась от всех, писала какие-то таинственные записочки и вообще держала себя самым странным образом. Раиса Павловна давно заметила эту перемену в сумасшедшей и боялась, как бы она не выкинула какой-нибудь дикой штуки в присутствии набоба; но выселить ее из господского дома не решалась.

Анниника, желая накрыть Братковского на самом месте преступления, несколько раз совершенно незаметно пробиралась на сцену и, спрятавшись где-нибудь в темном уголке или за кулисами, по целым часам караулила свой

«предмет». Эта засада, однако, не приводила ни к каким положительным результатам, потому что Братковский держал себя, как и все другие мужчины. Впрочем, с прозорливостью влюбленной Анниньки поймала несколько таких взглядов Наташи Шестеркиной на «предмет», что сомнения не оставалось. Наташа любила его. Сделанное открытие стоило Анниньке больших слез и еще большей злобы против счастливой соперницы; оставалось только выследить их вдвоем и накрыть.

Всем влюбленным случай, как известно, является покорнейшим слугою; он же помог и Анниньке довершить предпринятый подвиг. Репетиция была назначена вечером; Аннинька с утра притворилась больной, а когда m-lle Эмма ушла к Раисе Павловне, она, как ящерица, улизнула в театр и пробралась на свой наблюдательный пост. На этот раз Братковский нетерпеливо шагал по сцене, заложив руки за спину. Не оставалось никакого сомнения, что он ждал ее. Было еще рано, и актеры только что начинали собираться и шушукались отдельными кучками. Братковский несколько раз посмотрел на часы и все поправлял свои

русые волосы нетерпеливым жестом. Но вот мимо Анниньки скользнула знакомая женская фигура, закутанная в большой платок: это была Наташа Шестеркина. Она прошла к тому углу сцены, где были свалены старые декорации, и сделала знак Братковскому, чтобы он шел за ней. Анниника должна была придерживать грудь рукой, чтобы сдержать колотившееся сердце, а потом она, как кошка, начала подкрадываться к уединившейся парочке. Ей пришлось сделать порядочный крюк, чтобы подойти к вороху кулис совершенно незамеченной. Вот уж близко, всего несколько шагов... Можно рассмотреть, как Братковский крепко обнял Наташу одной рукой и, наклонив голову, что-то внимательно слушал. Потом до ушей Анниньки донесся сдержанный счастливый смех ее разлучницы. Вся кровь прилила к голове Анниньки, сердце замерло, в глазах пошли красные круги; еще несколько шагов — и она у цели. Счастливая парочка так близко от нее, что можно доскочить одним прыжком; и Анниника почти чувствует под своими ногтями белую кожу Наташи Шестеркиной. Но нужно немного переве-

сти дух...

— Что же она? — спрашивал Братковский.

— Она?.. Ха-ха... Анниника такая глупая, что ее обмануть ничего не стоит. Ведь она караулила тебя здесь все время, а ты и не подозревал?

— Этого еще недоставало!.. Ничего нет скучнее этих кисейных барышень, которые ничего не понимают... Ведь сама видит, что надоела, а уйти толку недостает.

— А тебе неужели не жаль Анниньки?

— Я могу женщину любить только до тех пор, пока она не потеряла ума, а как только начались охи, да вздохи, да еще слезы...

Братковский сделал выразительный жест рукой, а Шестеркина засмеялась. Анниника слишком хорошо изучила ее манеру говорить и смеяться и вся дрожала, как в лихорадке. Послышался долгий поцелуй.

— А все-таки необходимо поскорее отделаться от этой дуры, — заговорила опять Шестеркина, прижимаясь к своему кавалеру, — а то она еще, пожалуй, устроит такой скандал, что и не расхлебаешь.

— Вздор!..

— Нет, я ее отлично знаю...

Анниника не могла больше выносить и, как тигренок, бросилась на свою жертву, стараясь вцепиться ей прямо в лицо. Неожиданность нападения совсем обескуражила Братковского, он стоял неподвижно и глупо смотрел на двух отчаянно боровшихся женщин, которые скоро упали на пол и здесь уже продолжали свою борьбу.

— Анька... дура! Да ты, кажется, совсем с ума сошла? — послышался голос защищавшейся.

У Анниньки упали руки при звуках этого знакомого голоса — это была не Наташа Шестеркина, а m-lle Эмма, которая смешно барахталась своими круглыми руками и ногами, напрасно стараясь оттолкнуть нападавшую Анниньку.

— Право, настоящая дура! — уже сердито проговорила m-lle Эмма, поднимаясь с пола. — Ну, к чему было лицо ногтями царапать?..

Бедная, уничтоженная Анниника сидела на полу в самом отчаянном виде и решительно не могла понять, во сне она или наяву.

Глава 29

Занятия консультации были в полном разгаре, хотя сам Евгений Константиныч теперь редко посещал ее заседания. Дело Родиона Антоныча было совсем дрянь, и он, махнув на все рукой, плыл туда, куда его уносил стремительный поток событий. Да и что он мог сделать один против четверых? Выходила полная неустойка, как говорил Семеныч. Тетюевцы разнесли по щепам всю внутреннюю политику Раисы Павловны, и беспристрастный генерал, находившийся под сильным давлением Нины Леонтьевны, заметно начал склоняться на сторону тетюевцев. В чаше испытаний, какую приходилось испить Родиону Антонычу, мужицкие ходоки являлись последней каплей, потому что генерал хотя и был поклонником капитализма и смотрел на рабочих, как на олицетворение пудо-футов, но склонялся незаметно на сторону мужиков, потому что его подкупал тон убежденной мужицкой речи.

— Твое желание исполнилось, — говорил Прейн, отыскав Лушу в театре, — Платона Ва-

сильевича мы покончили совсем...

— А ты не обманываешь меня?..

— Если не веришь мне, так завтра сама можешь узнать от Раисы Павловны, — ответил Прейн обиженным тоном порядочного человека.

Луша торжествовала: ее заветное желание исполнилось. Сегодня идти к Раисе Павловне было поздно, но зато завтра она воочию убедится в случившемся. Ей страстно хотелось видеть, как Раиса Павловна примет известие о своем поражении и как она отнесется к Прейну, на которого надеялась, как на каменную стену. Вот будет комедия!..

Луша долго не могла заснуть в эту ночь. Вслед за картиной поражения Раисы Павловны перед ней встала другая, более широкая — это торжество партии Тетюева, с Ниной Леонтьевной во главе. Вот самодовольная, надутая фигура «моего Майзеля», вот хитро улыбающееся бородатое лицо Вершинина, вот делец Тетюев с своим «я», вот сама «чугунная болванка», расплывшаяся и безобразная... Луша одинаково ненавидела эту торжествующую шайку дельцов, ненавидела той отраженной

ненавистью, какая созрела в ней в последнюю поездку в горы, когда все начинали смотреть на нее, как на кандидатку в куртизанки. Особенно ненавидела Луша заводских аристократов, которые так жалко пресмыкались перед Ниной Леонтьевной... Чем Раиса Павловна хуже безобразной «болванки»? Дальше Луша думала о том, кто займет место Горемыкина, и старалась представить себе картину разрушения старого режима, сложившегося около Раисы Павловны. Кто потеряет и кто выиграет в этой новой суматохе? Прейн несколько раз говорил, что всего больше шансов на стороне Тетюева... Итак, вместо Раисы Павловны будет царить Авдей Никитич Тетюев. Глупо. Когда ненавистная Раиса Павловна была побеждена, и в душе Луши проснулось к этой женщине какое-то неясное, но теплое чувство. Ведь если разобрать справедливо, так Раиса Павловна ничем не хуже других, а только умнее во сто раз. И Лушу она любила по-своему, особенно в последнее время. Да, любила; любила немного по-кошачьи, но все-таки любила.

Перед Лушей протянулся длинный ряд вос-

поминаний, как Раиса Павловна готовила ее к балу, как с замиравшим сердцем следила за ее первыми успехами, как старалась выдвинуть ее на первый план, с тактикой настоящей великосветской женщины, и как наконец создала то, чем теперь Луша пользуется. Одной красоты и молодости мало для женщины, а нужна еще выдержка, такт, известная оригинальная складка, что и было разработано в Луше той же Раисой Павловной.

«Но ведь Раиса Павловна погубила отца... — думала Луша, движимая старым наболевшим чувством. — Она и меня преследовала, когда я была маленькой замарашкой».

Раньше Луша относилась к отцу почти индифферентно или с сдержанным чувством холодного презрения, а теперь начинала бояться его. Что он скажет, когда узнает все? Никакая тайна не останется тайной. Этот погибший человек отвернется от нее, как от содержанки Прейна. Он бросит в нее первый камень. Жалкий отец только один и вставал между нею и Прейном. Луша видела его презрительную улыбку и чувствовала всем телом его злой, насмешливый взгляд. Но из-за

страха перед отцом в душе Луши выступило более сильное чувство: она жалела этого жалкого, потерянного человека и только теперь поняла, как его всегда любила. Ведь это была недюжинная голова, человек с искрой в душе, который при других обстоятельствах мог быть университетской знаменитостью или выдающимся представителем в области литературы. Мысли об отце были единственной тайной Луши от Прейна, и она берегла эту последнюю святыню, как берегут иногда детские игрушки, которые напоминают о счастливом и невинном детстве. И все-таки отца погубила окончательно Раиса Павловна... Это решение созрело еще в голове Луши в самом раннем детстве и в таком виде сберегалось до последнего времени, как не требующая доказательств аксиома. Но первое проснувшееся чувство расширило душевный горизонт Луши, и она теперь старалась проверить детскую аксиому, принимая меркой свой личный опыт. Кто из них прав и кто виноват: Раиса Павловна или отец?.. В сущности, она судила только по догадкам и только отчасти по двум-трем письмам, доставшимся ей после

матери. История была самая темная. Да и как ей судить их? Просветленная собственным чувством, Луша долго думала о самой себе и своих отношениях к Прейну. Эта неожиданная встреча тоже носила в себе что-то роковое, как и встреча отца с Раисой Павловной. Луша действительно любила Прейна, любила человека умного и сильного, — всего вернее последнее. Именно сила Прейна производила на нее обаятельное действие: это был всемогущий человек, создавший свое положение одним своим умом. Конечно, он стар и некрасив, но все-таки во сто раз лучше тех молодых и красивых, которых встречала Луша до настоящего времени, не говоря уже об Яшке Кормилицыне. Девушка поклонялась силе, потому что в самой себе чувствовала эту силу, а жить, как живут все другие люди — день за днем, не стоило труда.

Долго не спала Луша в эту ночь, ворочаясь на своей постели. Ночь была темная и дождливая; деревья в саду шумели, точно говор далекой толпы, волновавшейся, как море. Крупные капли дождя хлестали в стекла с сухим треском, как горох, а рамы вздрагивали и ти-

хо дребезжали под напором метавшегося ветра. Где-то выла собака, сильно сконфуженная происходившими в природе беспорядками. А потом глухо гукнул отдаленный раскат грома, точно вестовая пушка. Шум начал стихать, и дождь хлынул ровной полосой, как из открытой души, но потом все стихло, и редкие капли дождя падали на мокрую листву деревьев, на размякший песок дорожек и на осклизнувшую крышу с таким звуком, точно кто бросал дробь в воду горстями. Но это было временное затишье, как бывает перед надвигающейся грозой. Вот режущим блеском вспольыхнула первая молния, и резким грохотом рассыпался первый удар, точно с неба обрушилась на землю целая гора, раскатившаяся по камешку. Опять затишье, и новая молния, и вслед за ней уже без всякого перерыва покатились страшные громовые раскаты, точно какая-то сильная рука в клочья рвала все небо с оглушающим треском. Луша не боялась грозы и с замирающим сердцем любовалась вспыхивающей ночной темью, пока громовые раскаты стали делаться слабее и реже, постепенно превращаясь в отдаленный глу-

хой рокот, точно по какой-то необыкновенной мостовой катился необыкновенно громадный экипаж.

Поздно утром, когда Луша проснулась, около ее кровати сидела Раиса Павловна. По блесткам дождевых капель в волосах и по темным пятнам от таких же капель на платье и на большой темной шали, в которую она куталась до самого подбородка, было видно, что Раиса Павловна только что пришла. Она сидела с опущенной головой, в задумчивой позе, и не замечала, что Луша давно уже смотрела на нее. Бледное, обрюзгшее лицо было бы совсем безобразно, если бы не освещалось какой-то глубокой думой, которая заставляла Раису Павловну забывать и промокшие насквозь прюнелевые башмаки, и недоконченный туалет, и место, где она сидела.

— Ах, ты уж проснулась? — проговорила Раиса Павловна, выведенная из своего забытья движением Лушиной головы.

— Да... Что случилось, Раиса Павловна? — сухо спросила девушка, напрасно стараясь замаскировать овладевшее ею чувство радости при виде разбитого врага.

— Ничего особенного...

Раиса Павловна нервно улыбнулась и опустила глаза; ее душило, и слезы стояли в горле.

— Я пришла проститься с тобой, Луша, — заговорила Раиса Павловна душевным, простым тоном, с нечеловеческими усилиями подавляя бушевавшие в ней горькие мысли.

— Что такое? Как проститься? — ответила Луша, не давая себе труда даже притвориться хорошенько. — Я, кажется, еще покуда не уезжаю, Раиса Павловна.

— Зачем ты обманываешь меня, голубчик? Я не за этим пришла... Мне хочется на прощанье много тебе высказать, потому что... вероятно, больше нам уже не придется встретиться, хотя и я — как ты, конечно, знаешь — тоже уезжаю.

«Скатертью дорога», — про себя подумала Луша, пока Раиса Павловна с трудом переводила дух.

— Я знаю твой выбор, — тихо заговорила Раиса Павловна, глядя прямо в лицо Луши. — И знала его гораздо раньше, чем ты думаешь. Но дело не в этом. Я пришла поговорить с то-

бой... ну, как это тебе сказать? — поговорить, как мать с дочерью.

— Раиса Павловна, пожалуйста, оставьте это святое слово в покое... Как-то вам нейдет говорить: мать!

При виде смирения Раисы Павловны в Луше поднялась вся старая накипевшая злость, и она совсем позабыла о том, что думала еще вечером о той же Раисе Павловне. Духа примирения не осталось и следа, а его сменило желание наплевать в размалеванное лицо этой старухе, которая пришла сюда с новой ложью в голове и на языке. Луша не верила ни одному слову Раисы Павловны, потому что мозг этой старой интриганки был насквозь пропитан той ложью, которая начинает верить сама себе. Что ей нужно? зачем она пришла сюда?

— Ты права, Луша... — ответила Раиса Павловна бледнея, — я беру свое слово назад. Но ты все-таки позволишь мне высказать тебе все, что у меня лежит на душе?

— Говорите... если вам это доставляет удовольствие, — с прежним бессердечием заметила Луша, пожимая плечами. — Только я ду-

маю, что между нами всякие разговоры — совершенно лишняя роскошь. Надеюсь, что мы и без слов понимаем друг друга.

Луша сухо засмеялась, хрустнув пальцами. В запыленные, давно непротёртые окна пробивался в комнату тот особенно яркий свет, какой льется с неба по утрам только после грозы, — все кругом точно умылось и блестит детской, улыбающейся свежестью. Мохнатые лапки отцветших акаций едва заметно вздрагивали под легкой волной набегавшего ветерка и точно сознательно стряхивали с себя последние капли ночного дождя; несколько таких веточек с любопытством заглядывали в самые окна.

— Можно открыть окно? — спросила Раиса Павловна, задыхаясь от бросившейся в голову крови.

— Будьте так любезны... А вы мне позволите одеться сначала?

— Позволяю...

Через четверть часа Луша была готова, и Раиса Павловна распахнула окно, в которое широкой волной хлынула еще не успевшая улетучиться ночная свежесть. Пахнуло цве-

точным ароматом, и вместе с струей свежего воздуха ворвался в комнату неясный гул работавшей фабрики. Что-то бодрое и сильное ликовало там сейчас, за пределами Прозоровского флигелька, где зелеными кружевами поднимались шпалеры акаций и сиреней, круглились зелеными шапками липы и сквозили на солнце прорезными вершинами мохнатые стройные ели. Сколько покоя, сколько мира чувствовалось под этим открытым голубым небом, того мира, которого недостает бессильному, слабому человеку, придавленному к земле своей бесконечной злобой. В ожидании разговора Луша села на свой прорванный диванчик, а Раиса Павловна тяжело ходила по комнате, заложив руки за спину.

— В последнее время, Луша, я не спала несколько ночей, думая о тебе, — заговорила Раиса Павловна, с трудом переводя дух. — Ты сделала рискованный шаг, слишком смелый для твоего возраста и неопытности. С этой дороги возврата нет. Но я пришла не для того, чтобы читать тебе наставления, а просто хочется поговорить по душе. Ты только начинаешь свою жизнь, а я ее кончаю; поэтому не

лишнее будет заметить тебе кое-что из моего житейского опыта. Сначала я испугалась ожидающей тебя участи, но потом передумала: порядочной, честной женщине, как это принято понимать, не стоит жить, потому что все против нас... Если мужчина, на стороне которого все права и преимущества, может эксплуатировать женщин в свою пользу, не заслуживая ничьего порицания, то почему же женщина не может распорядиться точно так же единственным своим преимуществом? Посмотри на меня: что я такое? Жалкая старуха — и больше ничего. В настоящую минуту у меня ничего нет — ни общественного положения, ни молодости, ни друзей, даже нет того, что остается после всех крушений и неудач — сознания, что я действительно сделала все, что могла. Нет, мне не осталось даже и этого утешения, хотя я была когда-то красива, не глупа и целую жизнь работала — конечно, работала по-своему... Вот в этой-то работе ты и можешь видеть то проклятие, которое тяготеет над женщиной. Мы всегда остаемся в жизни каким-то придатком мужчины, и возможная для нас деятельность соверша-

ется только из-за его спины. Самой умной женщине пробить себе дорогу только одной своей головой — дело почти невозможное; она всегда остается на полудетском положении, и ее труд ценится наравне с детским. Получается самое проклятое положение, тем более что требуют от женщины неизмеримо больше, чем от мужчины. Малейшая ошибка, малейший неверный шаг — все против нее, и больше всех сами же женщины. Про свою жизнь не буду тебе рассказывать — слишком много глупостей, или, вернее, одна сплошная глупость, хотя я всегда слыла за особу, которая умеет обделывать свои дела и ни перед чем не остановится.

Луша слушала эту плохо вязавшуюся тираду с скучающим видом человека, который знает вперед все от слова до слова. Несколько раз она нетерпеливо откидывала свою красивую голову на спинку дивана и поправляла волосы, собранные на затылке широким узлом; дешевенькое ситцевое платье красивыми складками ложилось около ног, открывая широким вырезом белую шею с круглой ямочкой в том месте, где срастались ключи-

цы.

— Мне целую жизнь приходилось барахтаться в самой некрасивой обстановке, — продолжала Раиса Павловна, — интриговать, обманывать, лгать на каждом шагу и вечно действовать через третьи руки. Единственным утешением оставалось сознание, что окружавшие меня люди, с которыми мне приходилось иметь дело, ничем не лучше, за исключением разве того, что они в большинстве случаев были непроходимо глупы. И что же? Конец ты сама знаешь... Но уже когда жизнь прошла, я пришла к тому убеждению, что нужно было жить совсем иначе. Видишь, в чем дело. Я подразделяю людей на две категории: на человеческое мясо, которое мясом родится, мясом живет и мясом умирает, и на собственно людей — настоящую человеческую аристократию, выдвинувшуюся из остальной безличной массы или умом, или характером, или красотой, или талантом. Я говорю об этой второй категории и, собственно, об ее женском отделе. Таким женщинам нужна широкая деятельность, не обставленная выдохшимися привычками, обычаями и

правилами, и такая деятельность доступна только вполне свободной женщине. Последнее время открыло несколько таких профессий и полуобщественных положений, где женщина может найти приложение своим силам и взять от жизни все, что та может дать. Конечно, общественные предрассудки высказываются против такой деятельности, пробивающей брешь в старых порядках; но что же делать, если нам не остается прямого выхода, нет дороги...

— Я это уже слыхала, Раиса Павловна, и не могу понять, при чем я-то тут? — спрашивала Луша.

— Вот о тебе и речь, Луша... Ты молода, красива, по-своему умна и обладаешь счастливым характером. Словом, в твоих руках все данные, чтобы устроить свою жизнь настоящим образом. Я буду счастлива уже тем, если когда-нибудь услышу, что ты хорошо устроилась, в чем я не сомневаюсь. Ты начинаешь с того, с чего когда-то следовало начать и мне, но я пропустила лет тридцать, а родиться во второй раз для повторения опыта не приведется. Прейн из мужчин его круга недурной

человек и сумеет обставить тебя совершенно независимо; только нужно помнить одно, что в твоем новом положении будет граница, через которую никогда не следует переступать, — именно: не нужно... как бы это сказать... не нужно вставать на одну доску с продажными женщинами.

— Вы ошибаетесь, Раиса Павловна, принимая меня за одну из таких тварей...

— Нет, совсем не то; я хочу только сказать тебе, что нужно беречь себя и серьезно работать. У тебя будет в руках масса дел и людей, и ты можешь ими пользоваться по своему усмотрению. А главное...

Раиса Павловна на мгновение остановилась и закрыла даже глаза, точно собираясь с силами произнести роковое слово.

— Что «главное»? — спросила Луша, довольная этим патетическим движением, которому не верила.

— Главное, Луша... — глухо ответила Раиса Павловна, опуская глаза, — главное, никогда не повторяй той ошибки, которая погубила меня и твоего отца... Нас трудно судить, да и невозможно. Имей в виду этот пример, Лу-

ша... всегда имей, потому что женщину губит один такой шаг, губит для самой себя. Беги, как огня, тех людей, то есть мужчин, которые тебе нравятся только как мужчины.

— Благодарю за хороший совет; но опять прошу вас, Раиса Павловна, не повторять имени отца; иначе я попрошу вас удалиться отсюда.

— Ты меня гонишь? Ах, да, ведь не ты одна — все меня гонят... Но ты забываешь только одно, что я тебе желаю добра и даже забываю, что ты ненавидишь меня.

— Это уж мое дело, Раиса Павловна... Надеюсь, вы кончили?

— Да, почти. Все равно, я сейчас ухожу.

Раиса Павловна накинула на голову шаль, но медлила уходить, точно ожидая, что Луша ее остановит. Она, кажется, никогда еще не любила так эту девочку, как в эту минуту, когда она отвертывалась от нее совсем открыто, не давая себе труда хотя сколько-нибудь замаскировать свою ненависть.

— Прощай, Луша! — проговорила с трудом Раиса Павловна, не решаясь подойти к не трогавшейся с места девушке. — Мне хотелось

тебя поцеловать в последний раз, но ведь ты не любишь нежностей...

Луша молчала; ей тоже хотелось протянуть руку Раисе Павловне, по от этого движения ее удерживала какая-то непреодолимая сила, точно ей приходилось коснуться холодной гадины. А Раиса Павловна все стояла посредине комнаты и ждала ответа. Потом вдруг, точно ужаленная, выбежала в переднюю, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы. Луша быстро поднялась с дивана и сделала несколько шагов, чтобы вернуть Раису Павловну и хоть пожать ей руку на прощанье, но ее опять удержала прежняя сила.

— К чему? — проговорила она вслух, прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Зачем она приходила? Ах, да... Все это одна сплошная ложь, последняя ложь!

Луша даже засмеялась, хотя на душе у ней было тяжело, точно там лежал какой камень. Итак, Раиса Павловна уничтожена. Она сама сейчас говорила это вот здесь. Куда она теперь денется с своим Платоном Васильичем, который глуп, как семьдесят баранов? Тетюев торжествует, и пусть торжествует: его сча-

стье. То-то теперь все переполошились и начнут наперерыв заискивать перед новым временщиком, чтобы удержать за собой насиженные местечки, а может быть, и получить новые получше. И Нина Леонтьевна тоже торжествует и будет уверена, что это она столкнула Раису Павловну. Вот и еще размалеванная дура!

«А между тем мне стоит сказать одно слово, — и все торжество этих мерзавцев разлетится прахом», — думала Луша с удовольствием, взвешивая свое влияние на Прейна.

Ее подмывало детское желание разрушить всю городьбу Нины Леонтьевны и Тетюева, но она удержалась. Пускай события идут своим естественным путем, как им следует идти. Ее личные счеты с Раисой Павловной кончены навсегда, а мертвых с кладбища не носят.

В тот же день вечером, когда все улеглось в господском доме на покой, Евгений Константиныч раньше обыкновенного простился с Прейном, ссылаясь на усталость. Когда шаги Прейна затихли, набоб торопливо накинул на себя плед, надел шотландскую шапочку и осторожно вышел из комнаты; он миновал

парадную приемную, потом столовую и очутился на садовой террасе. Ночь была мягкая, хотя и сырая после вечернего дождя; только что родившийся молодой месяц причудливо освещал колебавшиеся широкими полосами купы деревьев, зеленые стены акаций и разбитые веером цветочные клумбы. Берег был окутан клубами тихо шевелившегося тумана; выметывавшее из доменных печей пламя отражалось легкими вспышками, а от фабрики тянулся неясный сдержанный гул, точно какое громадное животное ворчало во сне. Спустившись с террасы, набоб пошел налево, в дальний угол сада; его охватила ночная сырость, которая заставляла неприятно вздрагивать. Вот и туманная полоса берега, вот те две ели и маленькая зеленая скамейка под ними.

«Здесь...» — подумал набоб, еще раз прочитывая в уме полученную вечером записку.

Эта записка была от женщины, и набоб испытывал то приятное волнение, какое овладевает человеком в неизвестном ожидании. Кто писал эту записку? — набоб терялся в догадках, хотя желал думать, что она была написана Лушей. Сколько сотен таких записок

получал Евгений Константиныч на своем веку, как все они были похожи одна на другую и вместе с тем каждая имела свою особенность. Были записки серьезные, умоляющие, сердитые, нежные, угрожающие, были записки с упреками и оскорблениями, с чувством собственного достоинства или уязвленного самолюбия, остроумные, милые и грациозные, как улыбка просыпающегося ребенка, и просто взбалмошные, капризные, шаловливые, с неуловимой игрой слов и смыслом между строк, — это было целое море любви, в котором набоб не утонул только потому, что всегда плыл по течению, куда его несла волна. Маленькие атласные конверты служили гнездышком раздушенным розовым листочкам, точно это были лепестки какой-то необыкновенной розы. Но полученная набобом записка была таинственна, как сфинкс, и он долго ломал над ней голову.

«Приходи на берег пруда, где стоят две ели, — гласила записка, — там узнаешь одну страшную тайну, которую ношу в своем сердце много-много дней... Люди бессильны помешать нашему счастью. — Твой добрый ге-

ний».

Закутавшись в плед, набоб терпеливо шагал по мокрому песку, ожидая появления таинственной незнакомки. Минуты шли за минутами, но добрый гений не показывался. «Уж не подшутил ли кто надо мной?» — подумал набоб и сделал два шага назад, но в это время издали заметил закутанную женскую фигуру и пошел к ней навстречу. По фигуре это была Луша, и сердце набоба дрогнуло.

— Ты не узнал меня? — спросил его добрый гений, когда они пошли по песчаной дорожке рядом.

— Нет... не догадываюсь.

Незнакомка сильно куталась в большой платок, так что ее лица нельзя было рассмотреть; но голос был изменен; очевидно, добрый гений хотел поинтриговать предварительно.

— Я знаю, что ты меня любишь, — продолжал гений прежним измененным голосом, — но злые люди нас постоянно разделяли. Везде интриги и коварство. Но я тебя тоже люблю и вот пришла сюда сама сказать это...

— Открой лицо, — просил набоб, начиная

сомневаться в подлинности гения.

— Поклянись, что ты меня всегда будешь любить?

— Я уже клялся тебе раз... там, в горах.

— О нет... Это был обман.

Чтобы покончить эту комедию, набоб, под предлогом раскурить сигару, зажег восковую спичку и сам открыл платок гения. И попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса: перед ним стояла Прасковья Семеновна и смотрела на него своим сумасшедшим взглядом.

— Узнал?.. — шептала она, протягивая к нему руки с улыбкой.

Но набоб уже не слыхал этого шепота, потому что обратился в самое постыдное бегство, точно за ним по пятам гнался целый ад; Прасковья Семеновна стояла на прежнем месте и грозила кулаком ему вслед, а потом дико захохотала на весь сад.

Пробежав несколько аллей, набоб едва не задохся и должен был остановиться, чтобы перевести дух. Он был взбешен, хотя не на ком было сорвать своей злости. Хорошо еще, что Прейн не видал ничего, а то проходу бы

не дал своими остротами. Набоб еще раз ошибся: Прейн и не думал спать, а сейчас же за набобом тоже отправился в сад, где его ждала Луша. Эта счастливая парочка сделалась невольной свидетельницей позорного бегства набоба, притаившись в одной из ниш.

— Это целая оперетка! — заливался Прейн, когда Прасковья Семеновна прошагала мимо них. — Луша! что же ты молчишь? Ха-ха!..

Но Луша была задумчива, почти грустна и не отвечала на шумную радость Прейна той же монетой. Она только что рассказала перед этим об утреннем визите Раисы Павловны и напрасно старалась разгадать впечатление, произведенное ее рассказом.

— Что же, тебе нисколько не жаль Раисы Павловны? — спросила она наконец.

— Что же я могу сделать для нее? — ответил Прейн тоже вопросом.

— Как что? Ты можешь все... если захочешь.

— Ну, теперь уж поздно: все кончено.

Равнодушный тон Прейна обидел Лушу, и ей сделалось вдруг жаль Раисы Павловны, насчет которой теперь ликовала вся партия Те-

тюева.

— Послушай, а если я хочу, чтобы Раиса Павловна осталась? — капризно проговорила девушка, ежась от холода.

— Слишком поздно... Что хочешь проси, только не это:

На волнах морских построю замок

И зубами с неба притащу луну...

но спасти Раису Павловну я не в силах. Еще раз повторяю: все кончено...

— В таком случае я требую, чтобы Раиса Павловна осталась! Понимаешь: требую! А иначе, не кажись мне на глаза!

Произошла очень горячая сцена, и стороны разошлись самым неприятным образом обвиняя друг друга.

Глава 30

Прейн опять торжествовал. Благодаря своей политике он сумел заставить Лушу просить его о том, чего хотел сам и что подготовлял в течение месяца в интересах Раисы Павловны. Это была двойная победа. Он был уверен именно в таком обороте дела и соглашался с требованиями Луши, чтобы этим путем добиться своей цели. Это была единственная система, при помощи которой он мог вполне управлять капризной и взбалмошной девчонкой, хотевшей испытать на нем силу своего влияния.

— Отлично, и еще раз отлично! — повторял он несколько раз, потирая руки от удовольствия.

Разрушить всю городьбу, которую в течение месяца с таким усердием городили Тетюев с Ниной Леонтьевной, Прейну ничего не стоило, как он уверял с самого начала Раису Павловну. Дело было настолько подготовлено, что оставалось только нанести последний удар. Удаление Горемыкина в принципе было решено, и набоб вполне был согласен с таким

решением. Работы консультации вывели на свежую воду многое, что не должно было видеть света. Недостатки горемыкинского режима сделались ясны, как день, даже для непосвященных, а генерал положительно был возмущен, что и высказывал Прейну несколько раз с своей обычной откровенностью.

— Теперь нужно доставить Тетюеву вторую аудиенцию, — предлагал Прейн генералу, — до настоящего времени вся ваша работа носила только отрицательный характер; пусть Тетюев представит Евгению Константинычу положительную программу, в духе которой он мог бы действовать, если бы, например, Евгений Константиныч предложил ему занять место Горемыкина... Конечно, я говорю только к примеру, генерал.

— Понимаю, — соглашался генерал. — А отчего же и в самом деле не предложить бы Тетюеву этого места? Это такой развитой, интеллигентный человек — настоящая находка для заводов! Тем более что отец Авдея Никитича столько лет занимал пост главного управляющего.

— Я не могу обещать вам решительно, генерал, но употреблю с своей стороны все, что будет зависеть от меня, а за остальное не ручаюсь... Хотя, кажется, можно утвердительно сказать, что все шансы теперь на стороне Тетюева.

— И Нина Леонтьевна говорит то же самое относительно Тетюева; так что мы все трое думаем одинаково.

— Да, да... Очень приятно, очень приятно! А вы предупредите Тетюева, чтобы он основательно подготовился к приему и изложил перед Евгением Константинычем свое profession de foi. А прежде всего, я думаю, вам нужно представить Евгению Константинычу подробный доклад занятий нашей консультации, чем вы, так сказать, расчистите почву Тетюеву. Положительные данные будут виднее на отрицательном фоне... Горемыкина нам щадить нечего, потому что он нам и без того стоит стольких хлопот.

— Да, если бы не эта консультация, мы могли много бы сделать для заводов в эту поездку! — согласился генерал.

После своего неудачного свидания с «доб-

рым гением» набоб чувствовал себя очень скверно. Он никому не говорил ни слова, но каждую минуту боялся, что вот-вот эта сумасшедшая разболтает всем о своем подвиге, и тогда все пропало. Показаться смешным для набоба было величайшим наказанием. Вот в это тяжелое время генерал и принялся расчищать почву для Тетюева, явившись к набобу с своим объемистым докладом.

— А не лучше ли было бы рассмотреть этот доклад после, в Петербурге? — протестовал Евгений Константиныч при виде целой дести исписанной бумаги. — Мы на досуге отлично разобрали бы все дело...

Но генерал был неумолим и на этот раз поставил на своем, заставив набоба проглотить доклад целиком. Чтение продолжалось с небольшими перерывами битых часов пять. Конечно, Евгений Константиныч не дослушал и первой части этого феноменального труда с надлежащим вниманием, а все остальное время сумрачно шагал по кабинету, заложив руки за спину, как приговоренный к смерти. Генерал слишком увлекся своей ролью, чтобы замечать истинный ход мыс-

лей и чувств своей жертвы.

— Благодарю вас, генерал, от души благодарю! — с облегченным сердцем говорил набоб, когда чтение кончилось. — Я во всем согласен с вами и очень рад, что нашел наконец человека, которому могу вполне довериться. Вот и Прейн то же говорит...

Но этим испытание не кончилось. Вслед за генералом с его бесконечным докладом в кабинет явился Прейн и объявил, что необходимо дать Тетюеву вторую аудиенцию.

— Нет, это уже слишком! — горячо возразил Евгений Константиныч, делая сердитое лицо. — Вы все, кажется, сговорились довести меня этими проклятыми делами до чахотки.

— Нельзя, Евгений Константиныч! — мягко настаивал Прейн. — Если бы была какая-нибудь возможность обойтись без вас, тогда другое дело... Тетюев для нас чистый клад!

— Убирайтесь к черту с вашим кладом!

— Я вам говорю, что нельзя. Вы — заводовладелец, и в таком важном деле необходимо ваше личное вмешательство. Наша роль с генералом кончилась.

Набоб задумался и, поддаваясь настояниям

Прейна, изъявил наконец согласие выслушать Тетюева.

— Только в последний раз! — капризно говорил набоб.

— В самый последний... Неужели у вас не найдется свободных пяти часов для такого важного дела?

— Пять часов! Да ты, Прейн, с ума, кажется, сошел...

— Нисколько... Если вы хотите показаться смешным в глазах всех служащих, тогда не слушайте меня и делайте по-своему. Что же мне-то за интерес надоедать вам?..

Набоб замолчал.

— Ваше последнее слово, Евгений Константиныч? — продолжал настаивать Прейн.

— Хорошо, я согласен.

— Отлично. Я передам это генералу.

Прежде чем явиться к набобу, Тетюев получил подробные инструкции от самой Нины Леонтьевны, которая вперед поздравляла его с полным успехом. Со стороны можно было подумать, что Тетюева аккредитовали послом к самому Бисмарку или по меньшей мере поручали министерский портфель. Вероятно,

настоящие министерские кризисы происходят при менее торжественной обстановке. Майзель, Вершинин и другие тетюевцы тоже переживали самые тревожные минуты в ожидании решительного момента, причем повторялась избитая психологическая истина, что общее волнение возрастало вместе с уверенностью в успехе.

Наконец Тетюев был совсем готов и в назначенный день и час явился во фраке и белом галстуке со своим портфелем в приемную господского дома. Было как раз одиннадцать часов утра. Из внутренних комнат выглянул m-r Чарльз и величественно скрылся, не удостоив своим вниманием вопросительный жест ожидавшего в приемной Тетюева. Поймав какого-то лакея, Тетюев просил его доложить о себе.

— Барин еще почивают, — отвечал лакей.

— Не может быть! он назначил мне прием именно в одиннадцать часов.

— Не могу знать-с.

— Ну, так доложи Альфреду Осипычу. Он, наверно, уже встал.

Лакей сонно взглянул заспанными глаза-

ми на Тетюева и нехотя понес его карточку на половину Прейна.

Вместо ожидаемого лакея выбежал сам Прейн. Он был в туфлях и в шелковой фуфайке, в чем и поспешил извиниться с истинно французской вежливостью.

— Извините, Авдей Никитич. Вам придется подождать несколько минут, — говорил Прейн, подхватывая министра под руку. — Пойдемте пока в мою комнату.

Комната Прейна, служившая ему и кабинетом и спальней, отличалась отчаянным беспорядком неисправимого холостяка. Усадив гостя на кресло к письменному столу, на котором ничто не напоминало о письменных занятиях, Прейн скрылся за маленькую ширмочку доканчивать свой утренний туалет.

— Отодвиньте ящик в правой тумбочке, там есть красный альбом, — предлагал Прейн, выделывая за ширмой какие-то странные антраша на одной ноге, точно он садился на лошадь. — Тут есть кое-что интересное из детской жизни, как говорит Летучий... А другой, синий альбом, собственно, память сердца. Впрочем, и его можете смотреть, свои лю-

ди.

Красный альбом не представлял ничего особенного, потому что состоял из самых обыкновенных фотографий во вкусе старых холостяков: женское тело фигурировало здесь в самой откровенной форме. В синем альбоме были помещены карточки всевозможных женщин, собранных сюда со всего света.

— Вы слыхали о галерее польского короля Станислава-Августа, которая хранится теперь в Дрездене? — спрашивал Прейн, выставляя голову из-за ширмы.

— Право, не помню что-то, Альфред Осипыч...

— Гм... Ну, одним словом, этот синий альбом заменяет мне королевскую галерею.

Прейн объяснил более откровенным образом значение синего альбома, и Тетюев погрузился в рассматривание длинного ряда красивых женских лиц, принадлежавших всем национальностям. Кого-кого только тут не было, начиная с гризеток Латинского квартала, цариц Мабиля и кафе-шантанов, представительниц demi-monde'а самых модных курортов и первых звезд европейских цирков

и балетов и кончая теми метеорами, которых выдвинула из общей массы шальная мода, ослепительная красота или просто дикая прихоть пресыщенной кучки набобов всего света. На страницах альбома, который перелистывал Тетюев, нашли себе, может быть, последний приют самые блестящие полуимена, какие создавали за последние двадцать пять лет такие центры европейской цивилизации, как Париж, Вена, Берлин, Лондон и Петербург. Это была интимная история в лицах той жизни, которая доступна только избранникам и баловням слепой фортуны. Если бы перевести на «язык простых копеек», чего стоили эти красавицы Европы, то в результате получилась бы сумма, далеко превышающая стоимость громадной войны каких-нибудь очень цивилизованных держав. Эти красивые лица были живой иллюстрацией капитальных политических переворотов, страшных экономических кризисов, банковых крахов, миллионных хищений и просто воровства, воровства без числа и меры. Обыкновенные разорения, самоубийства, убийства и разные другие causes célèbres[83] не должны ид-

ти в счет, как слишком нормальные явления. Тетюев слыхал об этом исключительном интернациональном мирке из пятого в десятое, поэтому перелистывал альбом без особенного внимания, как человек непосвященный, и только заметил последнюю страницу, где было оставлено свободное место для новой карточки: это место было назначено Луше Прозоровой.

— Однако Евгений Константиныч заставляет нас ждать! — проговорил Прейн, появляясь наконец из-за ширмы. — Двенадцать часов скоро...

Он позвонил и велел явившемуся на звонок лакею узнать, может ли принять Евгений Константиныч. Лакей через пять минут явился с длинным конвертом на серебряном подносе. Прейн разорвал конверт и несколько раз торопливо перечитал маленький листок английской почтовой бумаги цвета морской воды.

— Не понимаю... — проговорил он наконец, вопросительно глядя на Тетюева и проводя рукой по лбу. — Вероятно, какая-нибудь ошибка. Извините, Авдей Никитич, я вас

оставлю всего на одну минуту... Не понимаю, решительно не понимаю! — повторил он несколько раз, выбегая из комнаты.

Лакей остался в дверях и сонно смотрел на Тетюева с тупым нахальством настоящего лакея, что опять покоробило будущего министра. «Черт знает, что такое получается? Уж не хочет ли Прейн расстроить аудиенцию разными махинациями?» — мелькнуло в голове Тетюева, но в этот момент появился Прейн. Ударив себя по лбу кулаком, он проговорил:

— Решительно ничего не понимаю, Авдей Никитич. Вот не угодно ли вам прочесть самим это письмо.

Прейн передал полученное письмо Тетюеву, и тот прочитал:

> *«Дорогой Прейн! Одно очень серьезное дело заставило меня уехать, не простившись ни с кем... Передай генералу, что я во всем полагаюсь на него и на тебя и вперед изъявляю свое полное согласие на все, что вы сделаете для заводов.*
> *Твой* Евгений Лаптев».

— Не понимаю, не понимаю, не понимаю! — кричал Прейн, схватившись за голову. — Какое дело? куда уехал?..

— Я тоже, кажется, ничего не понимаю... — в раздумье проговорил опешивший Тетюев. — По моему мнению... я... В самом деле, Альфред Осипыч, как же я-то: был назначен прием, я готовился, и вдруг...

Неожиданный отъезд набоба походил скорее на бегство. Он укатил в своей коляске только с одним m-r Чарльзом, величественно сидевшим рядом с кучером. Вся свита, в лице Прейна, генерала, Нины Леонтьевны, Перекрестова с Летучим и прочими остались в Кукарском заводе, вместе с лаптевской конюшней, охотой, гардеробом и целым обозом. Известие о сбежавшем набобе еще раз переполошило весь Кукарский завод, причем все накинулись на Прейна, как сумасшедшие. Произошел целый ряд неприятных сцен и недоразумений; все рушилось кругом, точно случилось по меньшей мере смешение языков. В общей суматохе первым опомнился шустрый представитель русской прессы Перекрестов: он в то же утро, в сопровождении Летучего,

бросился нагонять набоба каким-то проселком, чтобы перехватить его, по крайней мере, на пароходе. В пустой голове Перекрестова все еще болталась мысль о месте главного управляющего, хотя он и потерпел полное фиаско у круглых ног m-lle Эммы.

Общему изумлению не было границ и меры: все было устроено, приготовлено, даже сделано наполовину — и вдруг...

— Как же это так?.. — вдруг спрашивали все друг У друга.

Бедный Сарматов ворвался в кабинет Прейна бледный как полотно и едва мог выговорить:

— Альфред Осипыч! а как же спектакль? Ведь уж все было приготовлено, я из кожи лез, и вдруг... Наташе Шестеркиной нарочно такой костюм заказали, чтобы плечи были как на ладони. Ей-богу!.. Да что же это такое в самом деле?..

Вслед за Сарматовым явился «мой Майзель» и с своей обычной важностью отцедил:

— Куда же я с медведем, которого приготовил под Куржаком для Евгения Константиныча?

— Я уж, право, не знаю, господа, как быть с вами, — вертелся Прейн, как береста на огне. — Пожалуй, медведя мы можем убить и без Евгения Константиныча... Да?.. И вы, Сарматов, не унывайте: спектакль все-таки не пропадет. Все, вероятно, с удовольствием посмотрят на ваши успехи...

— Ну, уж слуга покорный! — огрызнулся Сарматов. — И медведя и спектакль — жирно будет.

— Вы начинаете говорить дерзости, Сарматов!

— Виноват... простите! Но, ради всего святого, войдите в мое положение, Альфред Осипыч!

— И в мое тоже, — прибавил Майзель, точно бросил пудовую гирю.

— А кто же в мое положение войдет, господа? — спрашивал Прейн, делая трагический жест.

— Действительно, замысловатая вышла штука, — проговорил Сарматов, приходя немного в себя. — Это выходит совсем новая пьеса, в которой все остались с носом... — ха-ха!.. А жаль, признаться сказать, я рассчиты-

вал на кое-что, потому что, согласитесь сами, ведь плечи у этой бестии Шестеркиной — мрамор, нет — слоновая кость... Право, всем нам теперь остается только тараканов морозить!

В кабинете Прейна собрались почти все действующие лица расстроенной пьесы, даже приплелся, неизвестно зачем, Яша Кормилицын. Генерал был возмущен и сконфужен и тоже изъявил непременное желание сейчас же уехать из Кукарского завода.

— Нет, это невозможно, генерал, — доказывал Прейн, — теперь вся ответственность ложится на нас с вами, и мы не имеем права бежать с нашего поста. Чужие глупости еще не дают нам права делать своих. Притом нам остается только увенчать уже возведенное здание.

— Вы правы, Прейн, — согласился прямодушный генерал. — Я погорячился. А все-таки жаль, что Тетюев лишился возможности высказать Евгению Константинычу свою программу. Это замечательная административная и финансовая голова.

На половину Раисы Павловны, где уже на-

чинала воцаряться библейская мерзость запустения, пикантную новость принес воспрянувший духом Родион Антоныч. Даже изощренная во всевозможных внутренних переворотах Раиса Павловна не хотела верить всему случившемуся. Такую штуку, конечно, мог устроить только один Прейн, этот гениальнейший из рожденных женами.

— Ну, то есть так они ловко укололи эту самую штуку, так ловко! — умиленно шептал Родион Антоныч, качая своей жирной головой. — Ведь уж все дело было на мази, а тут вдруг... Уж истинно сказать, что из огня выхватил нас Альфред-то Осипыч.

Вечером, отделавшись от своих взволнованных гостей, Прейн сидел в будуаре Раисы Павловны, которая опять угощала его кофе из собственных рук. Собеседники болтали самым беззаботным образом, и Раиса Павловна опять блестела пикантным остроумием, а Прейн, как школьник, болтал ногами и хохотал, как сумасшедший. Между прочим, он рассказал об эпизоде с добрым гением, причем хохотала уже Раиса Павловна.

— Что же мы теперь будем делать? — спра-

шивала Раиса Павловна, успокоившись после первых восторгов. — Какой-то умный человек сказал, что не так трудно выиграть сражение, как разумно воспользоваться его плодами.

— Да, да... Но теперь уже все от вас зависит: я свое дело сделал.

— Постойте, зачем же вы из меня душу-то тянули столько времени, бессовестный человек?

— Я?.. Нет, я с самого начала объявил вам, что буду делать?

— А потом?.. Что стоило вам предупредить меня... а я тут бог знает что передумала и даже несколько раз проклинала вас, как изменника. Вы мне много крови испортили...

— Напротив, я хотел подарить вам маленький сюрприз, а что касается до ваших сомнений, то в них, во-первых, больше всего виноваты вы же сами, а во-вторых, чем была бы наша жизнь без маленьких волнений!

— Да, да, хорошо вам разводить философию, а каково было мне...

Растроганная и умиленная неожиданным успехом, Раиса Павловна на мгновение даже сделалась красивой женщиной, всего на одно

мгновение лицо покрылось румянцем, глаза блестели, в движениях сказалось кокетство женщины, привыкшей быть красивой. Но эта красота была похожа на тот солнечный луч, который в серый осенний день на мгновение прокрадывается из-за бесконечных туч, чтобы в последний раз поцеловать холоднеющую землю.

— Мы еще поживем! — проговорил Прейн, весело целуя руку Раисы Павловны. — Не правда ли?

— Да, вы еще поживете, — печально согласилась Раиса Павловна, чувствуя, как румянец сбегает у ней с лица и глаза холодеют. — Извините, Прейн, я не желала вас обидеть, но так как-то само сказалось...

На другой день утром, когда Раиса Павловна едва еще успела проснуться, Родион Антоныч уже ожидал ее. Такой ранний визит, конечно, был неспроста, и Раиса Павловна поторопилась выйти к своему Ришелье.

— Что новенького, Родион Антоныч? — спрашивала она, еще позевывая после сна.

— Да новенького-то ничего нет, а я пришел так... — начал Родион Антоныч по своему

обыкновению издалека. — Вот у вас был вчера Альфред Осипыч, так, может, у вас что-нибудь есть новенькое.

— Ах, да... Ну, нового ничего особенно нет, а старое вы сами знаете.

— Так-с... Очень хорошо.

По лицу Ришелье Раиса Павловна видела, что он что-то хочет сказать и не решается.

— Да не тяните вы из меня жилы! говорите прямо, зачем пришли? — договорила Раиса Павловна, усаживаясь в кресло. — Ну?.. Ах, какой человек!

— Ей-богу, ничего, Раиса Павловна... Я так зашел. Был в управлении, а потом и думаю: дай, думаю, зайду проведать Раису Павловну. Только и всего.

— Ну, теперь видели, что Раиса Павловна в добром здоровье, и убирайтесь, а мне нужно еще одеваться да притираться. Чего стоите?..

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил нерешительно Родион Антоныч, делая самую благочестивую рожу. — Как вы насчет Авдея Никитича?

— То есть, как это «насчет»? Просто, всех их к черту — и конец делу! А Тетюева в осо-

бенности...

Родион Антоныч тяжело вздохнул, сморщился и не уходил, переминаясь с ноги на ногу.

— А я вам, Раиса Павловна, прямо скажу, — заговорил он после длинной паузы, — напрасно вы, даже весьма напрасно, то есть относительно Авдея Никитича...

— Что же мне делать с вашим Авдеем Никитичем? Расцеловать его, что ли? Предоставляю это Нине Леонтьевне и другим дамам...

— Все-таки напрасно, Раиса Павловна... Конечно, теперь вы можете сделать большую неприятность Тетюеву, но ведь он отдохнет да опять за старое. Вот какую оперу устроил!.. Ведь меня-то заклевали на консультации и совсем бы съели, ежели бы не Альфред Осипыч. Ну, нынче хорошо, а час на час не приходит... Тетюев непременно опять будет нас подсиживать и уж свое возьмет. Большие неприятности может сделать... А между тем все просто, проще пареной репы. Рассудите так: неужели теперь у Евгения Константиныча для Тетюева места не найдется в Петербурге, когда он такую ораву совсем несообразных

людей кормит и поит? Да ежели бы Авдею-то Никитичу пять тысяч дать в Петербурге, местечко этакое особенное устроить ему, да ведь он... Ах, господи!.. Как это вы, Раиса Павловна, Авдея Никитича понимать не хотите; ведь живой он человек, жить хочет! А кабы его в Петербурге к Евгению Константинычу пристроить, да еще он почувствовал бы, что не через Нину Леонтьевну свое счастье получил, а через вас, да тогда вы тут катайтесь, как сыр в масле! Ей-богу, ведь голова-то какая: все может на свете оборудовать. А у нас бы в Питере-то рука была не чета Прохору Сазонычу Загнеткину. Право, Раиса Павловна, даже очень вы напрасно так Авдея Никитича трактуете. Теперь самый случай его на точку поставить, а он уж за добро наше заплатит. Ведь человек-то вон какой!

Это предложение сначала озадачило Раису Павловну; потом она усумнилась в искренности Родиона Антоныча, который мог ее продать тому же Тетюеву, и наконец проговорила:

— Хорошо, я подумаю, хотя определенного ничего и не могу обещать.

— Подумайте, Раиса Павловна… Ведь человек-то… А-ах, боже мой!

Глава 31

Кукарский завод походил теперь на улей, из которого улетела матка и все пчелы бродят как потерянные. Более подходящим сравнением, пожалуй, будет картина игроков, которые чинно уселись за зеленый стол, роздали карты, произвели ряд выкладок карточной математики, сделали первые ходы, обозначавшие масть и намерение партнеров, — и вдруг какая-то шальная рука перемешала все карты… Прибавьте к этому, что на карту были поставлены самые жгучие интересы, связывавшие главарей с десятками других, второстепенных игроков, которые должны были ограничиваться только наблюдением за ходом всей игры. Отъезд набоба довел расходившиеся страсти до последней степени напряжения, и две женщины, стоявшие во главе партий, питали друг к другу то же ожесточение, как две матки в одном улье. Собственно за игорным столом сидели теперь Раиса Павловна, Нина Леонтьевна, Тетюев и Прейн.

Чтобы общее недоразумение не перешло врукопашную, нужно было придумать какой-нибудь такой компромисс, который примирил бы интересы всех. Таким компромиссом и являлась придуманная Родионом Антонычем комбинация, заставившая Раису Павловну сильно задуматься, прежде чем она решилась передать свой разговор Прейну.

— Что же! отличная это штука, Раиса Павловна! — обрадовался никогда не унывавший Прейн. — Мы так и сделаем... Тетюев действительно неглупый человек и может быть нам очень полезен.

По сдержанному выражению лица Раисы Павловны Прейн понял с своей обычной проницательностью, что ее смущает: ей хотелось окончательно уничтожить Нину Леонтьевну, а назначение Тетюева в Петербург будет принято «болванкой» за дело ее рук.

— Послушайте, Раиса Павловна, я устрою так, что Тетюев сам придет к вам с повинной! — объявил Прейн, радуясь новой выдумке. — Честное слово. Только мне нужно предварительно войти в соглашение с генералом: пожалуй, еще заартачится. Пусть Нина Леон-

тьевна полюбуется на своего протеже. Право, отличная мысль пришла в голову этому Родиону Антонычу!.. Поистине, и волки будут сыты, и овцы целы...

Как Раиса Павловна ни презирала Тетюева, но все-таки сомневалась, что он пойдет на такую сделку, что и высказала Прейну, который только захохотал в ответ.

Прейн на этот раз не отложил дела в долгий ящик, а сейчас же пригласил генерала к себе для необходимых совещаний. Прежде всего ему нужно было уломать генерала, а Тетюев пусть себе едет в Петербург, — там видно будет, что с ним делать: дать ему ход или затереть на каком-нибудь другом месте.

— Генерал, нам необходимо кончить это дело как можно скорее, — говорил Прейн, встречая генерала в дверях.

— Я ничего не имею против этого...

— Отлично... Садитесь, пожалуйста, и поговоримте откровенно. Тетюева я давно знал как умного человека, но познакомиться с ним ближе мне как-то не удавалось до сих пор. Для нас такой человек находка. Да?.. Хорошо. Но согласитесь, что Россия вообще страдает

недостатком в умных и талантливых людях, и похоронить такого человека на заводах было бы просто грешно. Ведь заводское дело в своей сущности крайне просто, то есть я говорю об административной его части, какая находится в ведении главного управляющего. Даже те недостатки управления Горемыкина, которые так блистательно раскрыты работами нашей консультации, обязаны своим происхождением переходному времени. Не будь уставной грамоты, все дело шло бы отлично. Заметьте, что Платон Васильич замечательно честный человек, и не мне объяснять вам, какое это неоцененное достоинство в наше время крахов, растрат и хищений. Но все это к слову; главное, я против того, чтобы Тетюева оставлять на заводах: такую голову мы возьмем поближе к себе.

— Что вы хотите сказать этим? — спрашивал недоумевавший генерал.

Прейн начал издалека. Сначала он подробно изложил намерения генерала и его idée fixe о создании в России капиталистического производства под крылышком покровительственной системы, благодаря чему русские

промышленники постепенно дорастут до конкуренции с заграничными производителями и даже, может быть, в недалеком будущем займут на всемирном рынке главенствующую роль.

— Это наша общая цель, генерал, и мы будем работать в этом направлении, — ораторствовал Прейн, шагая по кабинету с заложенными за спину руками. — Нам нужно дорожить каждым хорошим человеком в таком громадном деле, и я беру на себя смелость обратить ваше особенное внимание, что нам прежде всего важно привлечь к этой работе освежающие элементы.

— Да, да...

— Все столичные дельцы на одну колодку, генерал, они слишком шаблонны, слишком обезличены окружающей обстановкой, а провинция всегда вливает новые силы.

— Да, да... это подтверждается всей историей: Греция, Рим, современный Париж...

— Мы отлично понимаем друг друга, и я предложил бы перевести Тетюева в Петербург на службу к Евгению Константинычу. Места, конечно, все заняты, но можно создать

для него что-нибудь новое... Ну, пусть будет юрисконсультом, тем более что Тетюев получил солидное юридическое образование.

— Что ж! это будет отлично! — соглашался генерал. — Теперь именно нужно действовать исключительно на юридических основаниях, как, например, создала свое промышленное благосостояние Англия...

— Именно, именно, я только что хотел сказать то же самое. Ведь нам приходится воспитывать конкурентов английским промышленникам, и мы будем разбивать их на их же почве и их же оружием.

Генерал был в восторге от этого разговора и, только вспомнив про Горемыкина, сморщился и проговорил:

— Да, все это хорошо, а как мы с Горемыкиным сделаемся?

— С Горемыкиным?.. Ничего нет легче, генерал. Пусть он пока останется на том же месте, а мы тем временем успеем приискать подходящего преемника.

— Да, но ведь это выйдет неловко, Альфред Осипыч, — заметил генерал, отлично представляя себе неистовую ярость Нины Леон-

тьевны. — Все было против него, и вдруг он останется! Это просто дискредитирует в глазах общества всякое влияние нашей консультации, которая, как синица, нахвастала, а моря не зажгла...

— Да ведь я сказал, генерал, что мы оставим Горемыкина только пока... Заметьте: *пока.* А там без сомнения устраним его...

Это «пока» совсем успокоило генерала, который не подозревал, что это маленькое словечко в русской жизни имеет всеобъемлющее значение и что Прейн постоянно им пользовался в критических случаях. Наука, с которой имел дело генерал, все явления подводит под известные законы и не хочет знать никаких «пока». Между тем это «пока» имеет самое широкое применение, особенно в мелочах повседневной жизни. Известно, что битая посуда два века живет, и постройки, воздвигаемые на время, в ожидании капитальных сооружений, пользуются особенной долговечностью. Все архитекторы и подрядчики отлично знают, что стоит только поставить на время какую-нибудь деревянную решетку вместо железной или дощатую переборку

вместо капитальной стены — и деревянная решетка и дощатая переборка переживут и хозяина и даже самый дом. Прейн давно практиковал в этом направлении и теперь пустил в ход заветное словечко, которое сразу обезоружило генерала.

Покончив с генералом, Прейн пригласил к себе Тетюева и с шутливой откровенностью высказал ему свои намерения.

— Надеюсь, что мы сойдемся с вами, Авдей Никитич, — закончил свои переговоры Прейн, — хотя, конечно, за будущее трудно ручаться... Вы будете нашим юрисконсультом и поработаете на пользу русской промышленности, поскольку она соприкасается с юридическими вопросами. Ну, взять хоть эту же уставную грамоту, отношения к земству, тарифные вопросы и так далее.

— Я, Альфред Осипыч, буду всегда... — смущенно бормотал Тетюев, растроганный свалившимся с неба на его голову счастьем. — Одним словом, вы не раскаетесь в сделанном выборе, если мне не изменят мои слабые силы...

— Отлично, очень хорошо... Но это все еще

в будущем, а теперь поговоримте о настоящем: у меня на первый раз есть для вас маленькая дипломатическая миссия. Так, пустяки... Кстати, я говорил уже о вас генералу, и он согласен. Да... Так вот какое дело, Авдей Никитич... Собственно, это пустяки, но из пустяков складывается целая жизнь. Я буду с вами откровенен... Надеюсь, что вы не откажете мне?

— Помилуйте, я для вас готов в огонь и в воду, только скажите!

— Я уже сказал, что пустяки: нужно помирить Раису Павловну с Ниной Леонтьевной. Ведь, собственно говоря, батенька, вы и кашу-то всю заварили, так вам ее и расхлебывать.

Как ни велика была готовность Тетюева идти за Альфреда Осипыча в огонь и в воду, но эта «маленькая дипломатическая миссия» повергла его сразу в уныние, потому что он отлично понимал невозможность примирения двух враждовавших женщин. В ответ на предложение Прейна Тетюев только пробормотал что-то совсем бессвязное.

— Да вы не смущайтесь, Авдей Никитич, —

успокаивал Прейн. — В таких делах помните раз и навсегда, что женщины всегда и везде женщины: для них своя собственная логика и свои законы... Другими словами: из них можно все сделать, только умеючи.

— Но ведь здесь с одной стороны Раиса Павловна, а с другой — Нина Леонтьевна... — с унынием повторял Тетюев. — Нет, это невозможно! Что хотите, но только не это, Альфред Осипыч!

— Э, пустяки! Я вас научу, батенька... Вы будировали против Раисы Павловны много лет. Да? И всю эту поездку устроили тоже сюрпризом для нее... так? Потом с Ниной Леонтьевной работали все лето против Раисы Павловны... так? А теперь вам нужно сделать следующее: отправляйтесь сегодня же с визитом к Раисе Павловне и держите себя так, как будто ничего особенного не случилось... Ведь этакие вещи приходится проделывать постоянно.

— А если меня Раиса Павловна не примет?

— Нет, за это я вам поручусь... Позвольте еще одну маленькую откровенность: пожалуйста, когда будете у Раисы Павловны и у

Нины Леонтьевны, держите себя так, как бы вы попали к самым молоденьким и красивым женщинам... Да, это первое условие, а то всю свою миссию погубите. Ведь женщина всегда останется женщиной!

— А как же Нина Леонтьевна? Ведь она все узнает, и тогда... нелепая история может произойти.

— Ах, да... Мне следовало предупредить вас с самого начала. Позволю еще маленькую откровенность. Ведь вы, Авдей Никитич, в душе уверены, что обязаны своим юрисконсульством Нине Леонтьевне? Да?

— Да, я считаю себя много обязанным Нине Леонтьевне...

— Хорошо. Так и запишем... Вы считаете себя много обязанным Нине Леонтьевне, а между тем вы обязаны всем исключительно одной Раисе Павловне, которая просила меня за вас чуть не на коленях. Да... Даю вам честное слово порядочного человека, что это так. Если бы не Раиса Павловна, вам не видать бы юрисконсульства, как своих ушей. Это, собственно, ее идея...

Это известие окончательно ошеломило Те-

тюева, точно он слушал какую-нибудь сказку: Раиса Павловна хлопотала за него, когда все было для него с отъездом Лаптева проиграно! Нет, это что-то совсем непонятное и хоть кого сведет с ума.

— А когда вы сделаете визит Раисе Павловне, — продолжал Прейн, — мы сейчас же устроим обед и на обеде сведем Раису Павловну с Ниной Леонтьевной... Да! Тут уж им не примириться невозможно!

Выполняя маленькую дипломатическую миссию, Тетюев немедленно отправился с визитом к Раисе Павловне, которая встретила его с той непроницаемой великосветской любезностью, которая так ловко заравнивает все житейские шероховатости, колдобины и целые пропасти.

— Очень рада поближе познакомиться с вами, Авдой Никитич, — говорила Раиса Павловна. — Мы, кажется, встречались с вами иногда... на улице?

— Да...

В гостиной Раисы Павловны к своему изумлению Тетюев встретил Амалию Карловну и m-me Дымцевич. Эти милые дамы болта-

ли самым непринужденным образом, хотя в душе страшно ненавидели друг друга: Амалия Карловна была уверена, что она первая сделает визит Раисе Павловне и предупредит других, и m-me Дымцевич думала то же самое, но эти проницательные дамы встретились носом к носу на подъезде квартиры главного управляющего и должны были войти в гостиную Раисы Павловны чуть не под ручку. Появление Тетюева усилило эффект до последней степени: Амалия Карловна презирала ренегатство и подлое заискивание m-me Дымцевич и Тетюева, m-me Дымцевич то же самое презирала в Амалии Карловне и Тетюеве, а Тетюев презирал обеих дам по тому же адресу. Моралист в этой глупой комбинации нашел бы новое доказательство человеческой испорченности, но погодите бросать камнем в это почтенное трио, ибо невозможно обвинять перелетную птицу за то только, что она летит туда, где теплее. И для человеческой глупости есть свои законы, хотя они еще не раскрыты наукой с той отчетливостью и непреложностью, как какое-нибудь учение об отрицательных величинах или теории веро-

ятностей. Отрицательные величины в мире умственных и нравственных явлений имеют такое же законное право на существование, как и в области математики.

Раиса Павловна держала себя, как все женщины высшей школы, торжествуя свою победу между строк и заставляя улыбаться побежденных. Нужно ли добавлять, что в гостиной Раисы Павловны скоро появились Майзель, Вершинин, Сарматов — одним словом, все заговорщики, кроме Яши Кормилицына, который в качестве блаженненького не мог осилить того, что на его месте сделал бы всякий другой порядочный человек.

— Я так рада вас видеть у себя, господа, — повторяла несколько раз Раиса Павловна, занимая милых гостей.

Повторились сцены, разговоры и пикировки парадных завтраков, за исключением того, что все «галки» отсутствовали, ибо — увы! — они были за произведенную в театре драчишку навсегда изгнаны из рая, уготованного избранным. Чтобы довершить эффект, Раиса Павловна послала доктору записку: «Яша, я должна была бы выцарапать тебе глаза за

твое коварство, но я тебе прощаю... Приезжай сейчас же, если желаешь застать меня в живых... Горемыкина». Когда в гостиной появился доктор и с детским недоумением посмотрел на всех, как оглушенный теленок, все сдержанно замолчали и даже сделали вид, что не замечают его.

— Ага, вот и сам Мазепа явился! — заметил вполголоса Сарматов, глядя на доктора прищуренными глазами. — Ну, Яшенька, сознавайся: кто заварил кашу? — спросил он уже громко. — Раиса Павловна, рекомендую вашему вниманию этого молодого человека. Не правда ли, хорош?

Но Раиса Павловна встретила и Яшу Кормилицына с той же любезностью и даже поцеловала его в порыве чувства, проговорив вполголоса:

— Ну, Яшенька, как видишь, я совсем здорова: чем ушибся — тем и лечись... Чего тебе: чаю или кофе? Эй, Афанасья, кофе доктору, да покрепче, чтобы привести его в чувство... Ха-ха!..

Мы избавим читателя от описания того, как заблудшие, но возвращенные овцы ели,

пили, льстили Раисе Павловне и наперебой рассказывали самые смешные анекдоты про набоба и генерала с его «болванкой» и про его свиту. Проделывалось то же самое, что проделывается всеми и, к сожалению, слишком часто.

— Я, Раиса Павловна, могу про себя сказать только одно, — откровенничал Сарматов, целуя руку у Раисы Павловны, — именно, что один раскаявшийся грешник приятнее десяти никогда не согрешивших праведников...

— Совершенно верно, — соглашалась Раиса Павловна. — А что ваш спектакль?..

— Гм!.. спектакль. А вы про который изволите спрашивать?..

— Конечно, про настоящий...

— Ну, я теперь сижу, как Сципион Африканский на развалинах Трои!..

— Да ведь Сципион Африканский никогда не сидел на развалинах Трои!

— Это все равно, Раиса Павловна.

В этом общем торжестве не принимал участия только один Платон Васильич, который еще не выходил из своего кабинета. Он лежал на широкой кушетке и бредил без конца но-

выми машинами, которые стучали и вертелись у него в голове всеми своими колесами, валами и шестернями. Доктор часто навещал его, но до сих пор никак не мог определить болезни: и хворал Платон Васильич так же бесцветно и не колоритно, как жил. Вообще странный был человек, ставивший в тупик даже Яшу Кормилицына, который выбивался из сил, измеряя температуру, считая пульс и напрасно перебирая в уме все болезни, какие знал, и все системы лечения, какие известны в науке. Платон Васильич оставался какой-то патологической загадкой, которая неожиданно разрешилась сама собой, то есть Платон Васильич открыл глаза и почувствовал себя на положении выздоравливающего человека.

Генерал, покончив все дела в Кукарском заводе, давал прощальный обед, на котором, по плану Прейна, должно было состояться примирение враждовавших сторон в окончательной форме. Но как заманить на этот обед и Нину Леонтьевну и Раису Павловну, притом заманить так, чтобы это было незаметно обеим и чтобы они встретились поневоле? Выполнением этого плана занялись все. Прейн с

своей стороны обещал за Раису Павловну, но никто не брал на себя ответственности за Нину Леонтьевну, которая теперь в качестве потерпевшей могла наделать неприятностей всем. О визите Тетюева и других единомышленников она, конечно, знала и пылала справедливым негодованием к этой общей измене. В самом деле, сколько она хлопотала, старалась, интриговала — и вот награда! Бедный генерал переживал самую критическую минуту.

— Благодаря вашему ротозейству вы и Евгения Константиныча прозевали, — корила его Нина Леонтьевна. — Я уж не говорю о себе... А теперь вы затеваете парадный обед, чтобы устроить мне публичный скандал.

— Нина, пойми же, ради бога, что я делаю обед не для собственного удовольствия, — пробовал уговаривать генерал. — Ведь это официальный прощальный обед, который я обязан дать заводскому обществу...

— Ну, и прекрасно: давайте ваш обед, а я уеду одна.

После долгих и напрасных просьб и увещаний Нина Леонтьевна предложила генералу

компромисс: она будет на обеде, но за это генерал должен так замарать формулярный список Прозорова, чтобы ему никуда носу нельзя было показать. Условие было слишком жестокое, но Нина Леонтьевна была неумолима, как судьба, и обещала совсем бросить генерала, если он по исполнит ее требования. Все это было высказано настолько категорически, что добрый генерал в конце концов не устоял и, желая спасти самого себя, погубил своего университетского товарища... В формулярном списке Прозорова собственной рукой генерала было прописано несколько таких замечаний, которыми дальнейшая карьера Виталия Кузьмича в каком бы то ни было ведомстве сделалась невозможной.

— Это будет всегда на моей совести... — проговорил генерал, бросая перо. — Нина, что ты наделала?

— Ничего, самая простая вещь: око за око — не больше того. А что касается твоей совести, так можешь быть совершенно спокоен: на твоем месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же...

Все это было устроено совершенно келей-

но, так что на этот раз Нина Леонтьевна перехитрила решительно всех.

Обед имел быть устроен в парадной половине господского дома, в которой останавливался Евгений Константиныч. Кухня набоба оставалась еще в Кукарском заводе, и поэтому обед предполагался на славу. Тетюев несколько раз съездил к Нине Леонтьевне с повинной, но она сделала вид, что не только не огорчена его поведением, но вполне его одобряет, потому что интересы русской горной промышленности должны стоять выше всяких личных счетов.

Идея примирения двух враждовавших женщин сделалась настоящей злобой кукарского дня, причем предположениям, надеждам и сомнениям не было конца. Женщины, кровно заинтересованные в этом чисто женском деле, ходили как в тумане, внося в общую сумятицу новые усложняющие соображения. Когда все собрались в обеденную залу, в которой принимал гостей генерал, общее напряжение достигло последних границ. В числе гостей были приглашены и дамы. В комнатах господского дома гудела и перели-

валась пестрая и говорливая волна кружев, улыбок, цветов, восторженных взглядов, блонд и самых бессодержательных фраз; более положительная и тяжеловесная половина человеческого рода глупо хлопала глазами и напрасно старалась попасть в тон салонного женского разговора. Да мужчинам было, собственно говоря, и не до дам, потому что все ожидали с нетерпением близившейся развязки. Ведь этот последний обед, на котором собрался весь «малый двор» и обломки большого, имел решающее значение, потому что им должно было увенчаться все здание. Все недоразумения, пререкания, сомнения — все должно было исчезнуть, и даже навсегда готовилась быть засыпанной та пропасть, которая до сих пор разделяла «малый» и «большой» дворы.

Публике было известно, что Нина Леонтьевна явится в сопровождении Тетюева и Братковского, а Раиса Павловна в сопровождении Прейна и Родиона Антоныча. Две женщины превращались в миртовые ветки, делаясь символом общего мира. Прошло полчаса общего томительного ожидания, а главные

действующие лица все не появлялись на горизонте. Генерал несколько раз тревожно посмотрел на часы и поморщил лоб. Но вот растворились двери, и в них вошли Прейн и Тетюев одни, а за ними плелись Братковский с Родионом Антонычем. По толпе гостей пробежал трепет, как порыв ветра, который перед грозой шелестит в траве.

— Нина Леонтьевна больна... — объявил Тетюев, принимая министерскую позу.

— Раиса Павловна тоже больна... — отозвался Прейн.

Наступило гробовое молчание, точно в ожидании вердикта присяжных. Приходилось садиться обедать одним, причем генерал испытывал крайне угнетенное состояние духа. Прейн тоже ругался на пяти языках, хотя по его беззаботному виду и невозможно было разгадать эту лингвистическую внутреннюю бурю.

Таким образом, торжественный обед начался при самых неблагоприятных предзнаменованиях, хотя все записные специалисты по части официальных обедов лезли из кожи, чтобы оживить это мертворожденное дитя.

В надлежащем месте обеда сказано было несколько спичей, сначала Вершининым и Тетюевым, причем они, подогретые невольным соперничеством, превзошли самих себя. Когда было подано шампанское, генерал поднял бокал и заговорил:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Мне приходится начать свое дело с одной старой басни, которую две тысячи лет тому назад рассказывал своим согражданам старик Менений Агриппа. Всякий из нас еще в детстве, конечно, слыхал эту басню, но есть много таких старых истин, которые вечно останутся новыми. Итак, Менений Агриппа рассказывал, что однажды все члены человеческого тела восстали против желудка...

— Отлично, генерал!.. — раздалось среди общей тишины.

В дверях стоял пьяный Прозоров и, пошатываясь, слезившимися глазами нахально смотрел на обедавших...

— Отлично... ха-ха!.. Менений Агриппа... прекрррасно!.. — продолжал он, поправляя волосы неверным жестом. — А Менений Агриппа не рассказал вам, Мирон Геннадьич,

о будущей Ирландии, которую вы насаждаете на Урале с самым похвальным усердием? Менений Агриппа!.. О великие ловцы пред господом, вы действительно являетесь великим российским желудком... Ха-ха!.. А я вам прочитаю лучше вот что, господа:

Умерла Ненила; на чужой земли-
це
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!

— Ради бога, уведите его! — шептал генерал, причем нижняя губа тряслась у него от бешенства.

— Менений Агриппа и Тетюев... ха-ха! — хохотал Прозоров, когда его выводили в переднюю два лакея, а Родион Антоныч осторожно подталкивал сзади. — Иуда, и ты здесь? Ну, нам с тобой и бог велел быть подле-

цами! Видел Тетюева, будущего юрисконсульта? Ха-ха! Продал Тетюев за чечевичную похлебку свое земское первородство и посему далеко пойдет: нынче крупным подлецам везде скатертью дорога... Родька! наплюй за меня в рожу Тетюеву, он сам меня просил об этом! Менений Агриппа — и Мирон Геннадьич Блинов! поистине, от великого до смешного один шаг. Насаждаем российский капитализм и вступаем в конкуренцию с Западными Европами чисто желудочными средствами... Ха-ха! Тетюев и генерал, генерал и Тетюев! — черт с младенцем и дважды два стеариновая свечка!

— Виталий Кузьмич, ради истинного Христа, удержите вы свой язык! — умолял Родион Антоныч, помогая Прозорову найти дверь в передней.

— А... это ты, Иуда! — бормотал Прозоров, выделывая вензеля ногами. — Знаешь, что я тебе скажу: я тебя люблю... да, люблю за чистоту типа, как самородок подлости. Ха-ха!

Парадный обед, задуманный на таких широких основаниях, закончился благодаря Прозорову полнейшим фиаско.

Вечером этого многознаменательного дня Прозоров сидел в будуаре Раисы Павловны, которая сама пригласила его к себе. Дело шло о погибшем формуляре, о чем Раиса Павловна только что успела узнать от своего Ришелье.

— Куда вы теперь, Виталий Кузьмич? — спрашивала Раиса Павловна своего друга.

— А сам не знаю, царица Раиса... Нужно будет приискивать род занятий; может, волостным писарем пристроюсь где-нибудь.

Подумав немного, Прозоров улыбнулся пьяной улыбкой и прибавил:

— Давеча, царица Раиса, генерал Мирон рассказывал басню Менения Агриппы... Я часто думаю о ней и все не нахожу себе места в числе членов человеческого тела, а теперь нашел... Ха-ха!..

— Именно?

— То есть, собственно, это не часть тела, а только одна из его необходимых принадлежностей: я — больной зуб, царица Раиса! Собственно, и не зуб, а гнилой корень, который ноет, а вытащить нечего.

— Если дело пошло на сравнения, так вы можете сравнить себя вернее с чирьем... Ну,

да дело не в сравнениях, а я пригласила вас по серьезному делу. Именно: поговорить о судьбе Луши, которая дальше не может оставаться при вас, как это, вероятно, вы и сами понимаете...

— О, понимаю, царица Раиса, слишком хорошо понимаю!.. Только позвольте мне еще одно сказать: на генерала Мирона я не сержусь, видит бог — не сержусь!

— И прекрасно... Ваше положение теперь совсем неопределенное, и необходимо серьезно подумать о Луше... Если вы не будете ничего иметь против, я возьму Лушу на свое попечение, то есть помогу ей уехать в Петербург, где она, надеюсь, скорее устроится, чем здесь. Не пропадать же ей за каким-нибудь Яшкой Кормилицыным...

— Да, да... Лукреция уже, кажется, и без того на хорошей дороге! Впрочем, я это говорю так... Нынче выгоднее жить ногами, чем головой, Раиса Павловна.

Раису Павловну удивило безучастное отношение Прозорова к дочери, хотя он, по-видимому, и подозревал печальную истину.

— Послушайте, царица Раиса, я пьяница, а

кое-что еще в состоянии понимать, — бормотал Прозоров, моргая глазами. — Везде жертвы... да! Это то же самое, что побочные продукты в промышленности. Лукреция совершеннолетняя, и сама понимает, что делает, а я молчу... Не мне и не вам ее учить... Оставимте ее в покое!.. Боже, боже мой!

Прозоров вдруг заплакал, закрыв лицо руками.

— Перестаньте, что вы, Виталий Кузьмич! — проговорила Раиса Павловна, трогая своего друга за плечи.

— Вы думаете, царица Раиса, я плачу о том, что Лукреция будет фигурировать в роли еще одной жертвы русского горного дела — о нет! Это в воздухе; понимаете, мы дышим этим... Проституцией заражена наука, проституция — в искусстве, в нарядах, в мысли, а что же можно сказать против одного факта, который является ничтожной составной частью общего «прогресса». Не об этом плачу, царица Раиса, а о том, что Виталий Прозоров, пьяница и потерянный человек во всех отношениях, является единственным честным человеком, последним римлянином... ха-ха!.. Вот

она где настоящая-то античная трагедия, царица Раиса! Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость! Тетюев с Родькой теперь совсем подтянут мужиков, а генерал будет конопатить их подлости своей проституированной ученостью... Я вчера шел по мосту: там сидит здоровенный мужик с выжженными глазами... Ему на заводской работе в горе порохом выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на глазах у всех, и кукарское заводоуправление пальца не разогнет для него. Да это что! ничтожная пылинка, одна капля в море... Это только иллюстрация тому, что мы должны были сделать и не сделали. В Кукарских заводах нет даже богадельни для престарелых, нет пенсии изработавшимся и увечным, нет приюта для сирот... Конечно, все это филантропия, но и филантропия лучше той мутной воды, какую разводит генерал Мирон! Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью, а мы... Наука, святая наука, и та пошла в кабалу к золотому тельцу! И вашему

царству, царица Раиса, не будет конца... Будьте спокойны за свое будущее — оно ваше. Ваш день и ваша песня...

Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что постыдным сегодня считается,
Удостоится завтра венца...

— Царица Раиса, дайте вашу ручку! — лепетал Прозоров, падая на колени. — И слабая женщина нашла наконец свое место на пиру жизни... Да. Теперь честной женщине нечего делать. Я понимаю вас! А вот мы, пьяненькие да несчастненькие, будем стоять у кабацкой стоечки и любоваться вами... ха-ха!..

На другой день после парадного обеда генерал Блинов уехал из Кукарского завода, а за ним потянулась длинным хвостом нахлынувшая с Лаптевым на Урал челядь. Так после веселого ужина или бала прислуга выметает разный сор из комнаты! Этот человеческий хлам выметал сам себя из зала недавнего пиршества.

Прейн уехал последним. Луша отправи-

лась в Петербург вместе с Раисой Павловной, которая чувствовала потребность немного освежиться.

Результаты приезда барина на заводы обнаружились скоро: вопрос об уставной грамоте решен в том смысле, что заводским мастеровым земельный надел совсем не нужен, даже вреден; благодаря трудам генерала Блинова была воссоздана целая система сокращений и сбережений на урезках заработной рабочей платы, на жалованье мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые признаны наукой вредными паллиативами; управители, поверенные и доверенные получили соответствующие увеличения своих окладов.

Тетюев занял свой новый пост юрисконсульта, а Родион Антоныч единогласно был избран председателем Ельниковской земской управы, причем в первый же год своей земской деятельности поставил дело так, что знаменитая гора Куржак, обложенная двумя рублями семнадцатью копейками земских налогов, была освобождена от этой непосильной тяготы, как освобождены на Урале от зем-

ского обложения все золотые прииски.

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО

(Роман)

Роман «Черты из жизни Пепко» автобиографичен, на что писатель сам неоднократно указывал. Истинный художник, по мнению Мамина-Сибиряка, должен стремиться к воспроизведению правды жизни. «Придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями...».

Глава 1

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом,

точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него — своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной — в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор — вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты

показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

— Она повесилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

— Кто повесился?

— Вировка весилась...

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставлявшиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, — откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, гор-

ничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жильцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городовых выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятель-

ству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие — муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не

дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнотизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно

доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились...

— И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! — слышался голос мужа.

— А если у него маленькие дети остались? — слезливо отвечала жена.

— Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за таким прими-

рением. Муж сразу делался другим человеком — уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо владело заплетавшимся языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы

дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

— Отлично... Одобряю! — повторял пьяный голос. — А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

— Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, — проговорила хозяйка. — Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, — кому же приятно в самом деле?

— Пишет? Та-ак... — тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: — А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, — проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрошеного гостя, докончить прерванную сцену супружеского примирения

в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило... Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

— Она дома... — послышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

Глава 2

— Можно войти-с? — послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

— Войдите...

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пятачки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

— Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите нас черненькими... хе-хе!.. А впрочем, не в этом дело-с... ибо я при-

шел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

— Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог... [84]

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

— Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать...

— Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо

забормотал:

— Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец... а? Я про канатчика... Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом — хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак... да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и — готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! — и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое

подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты сединой. Когда-то это лицо было очень красиво — и большой умный лоб, и живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокиванья и подмигиванья тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика — поболтает и сам уйдет.

— Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слыхали про Порфира Порфирова Селезнева? — спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

— Ничего не слыхал.

— Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

— Нет...

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезневым.

— Да-с, а теперь я напишу другой рассказ... — заговорил старик, пряча свой номер в карман. — Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

— Люблю, — шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. — Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздо-

хом проговорил:

— Двадцать семь рубликов, двадцать семь соколиков... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

— Нет.

— Все равно пропью.

— Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

— Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

— Если у самого будут...

— О, юноша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... А слыхали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

— Нет.

— Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не

полагается, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржавел, зубы съел, — ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдемте в одно место злачное?

— Куда?

— Да попросту в трактирное заведение... Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты почитаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза:[85] «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как

вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния... Одевайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не будете... Канатчик-то ведь повесился — вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка![86]»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

— На, чухоночка, где тебе взять... — бормотал старик, шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбавшимися глазами и проговорила:

— У ней много денек... богатая!..

Глава 3

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

— Мы автомедона возьмем... — решил он, изнемогая окончательно. — Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

— Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, — объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. — Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишет... день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этакой романище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно над романищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э,

батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

— У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, — объяснял он. — Сколько флюсов я износил из-за него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

— Агапычу сто лет... — здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

— Пожалуйте... — приглашал лакей, забе-

гая перед Порфиром Порфировичем петушком. — Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместилась компания неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

— Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, — бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. — Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов... Кажется, так?

— Да... — подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шестифутовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой — полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

— Тоже Попов, а попросту — Пепко, — сам

отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навыкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей — я так и не узнал, хотя имел впоследствии с ним постоянно дело.

Хохол Гришук был настоящий хохол — добродушный, ленивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницательности. В трактир на Симеониевской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немно-

го... Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше — самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злоключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех — он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности

вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой несгораемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.

— Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? — сделал догадку один Гришук.

— Не в этом дело-с, — бормотал Селезнев, продолжая топтаться на месте. — Господа, разгладим чело и предадимся веселию. Ах, да, какой случай сегодня...

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

— Ну, что же из этого? — сурово спросил Фрей, посасывая свою трубочку. — У каждого есть своя веревочка, а все дело только в хронологии...

Всех внимательнее отнесся к судьбе канат-

чика Пепко. Когда Селезнев кончил, он заметил:

— Что же, рассказец этот рублевиков на двенадцать можно будет вылепить... Главное, название хорошее: «Петля».

— Нет, брат, шалишь! — вступился Селезнев. — Это моя тема... У меня уже все обдумано и название другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужие темы... Это уже не в первый раз.

— А не болтай... — сказал Пепко. — Никто за язык не тянет. Наконец, можно и на одну тему писать. Все дело в обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратился ко мне:

— Ну, вот мы и дома... Выпьем, юноша.

— Я не пью.

Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечатление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем поперхнулся и закашлялся. Это

уже вышло окончательно глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих академиков мальчишкой и готов был выпить керосин из лампы, чтобы показаться большим.

— Ничего, ничего, юноша... — успокаивал меня Селезнев. — Всему свое время... А впрочем, не в этом дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Селезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт раскачивал ногой и повторял:

— Да-с, у каждого есть своя веревочка... Верно-с!.. А канатчик-то все-таки повесился... Кончено... finita la commedia...[87] Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш... Не с кого взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома — все с носом остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Порфирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный мзду...

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то необыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «академию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие... А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидел с своей трубочкой на одном месте, точно бронзовый памятник.

— Он пишет роман... — рекомендовал меня Селезнев. — Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором роде... Хе-хе!..

Глава 4

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вернее сказать — в беспорядке. На другой день я проснулся в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог сообразить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послужила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, что говорил? В голове проносились обрывки чего-то ужасного, безобразного, нелепого... Мне начинало казаться, что весь вчерашний день являлся одним сплошным безобразием. Нечего сказать, хорош будущий романист... Для начала даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в комнате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По смятой подушке и обитому одеялу я мог сделать предположение, что на ней кто-то спал и вышел, а следовательно, должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вчерашних

воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с Пепкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу и сообщил мне трагическим шепотом:

— Знаете, Попов, я — великая свинья...

Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, а так как такового не получилось, то неожиданно прибавил:

— И все подлецы...

Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел некоторое право догадываться, что нахожусь в квартире Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылого вида, вероятно благодаря абсолютной пустоте, за исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе ли-

тографированным запискам я имел основание заключить, что хозяин — студент, и это значительно меня успокоило. Впрочем, скоро послышался довольно крупный разговор, который окончательно вернул меня к действительности.

— Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, Попов? — слышался сердитый женский голос.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, как только получу, так и отдам, — уверял мужской голос, старавшийся быть любезным. — Как только получу...

— Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денег за квартиру нет. Вчера вы в каком виде пришли, да еще какого-то пьяницу с собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими жильцами.

— Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасные женские слова, потому что находитесь не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не значит, что у нас были свои деньги...

— Что же, вас даром поили?..

— Не даром, но предположите, что деньги могли быть у третьего лица, совершенно непричастного к настоящему вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторона всего дела этим не устраняется: мы были несколько навеселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Ниловна, а человек так слаб...

— Пожалуйста, не заговаривайте зубов... О, я вас отлично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь отворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце которого стояла средних лет некрасивая женщина, а в ближнем от меня Пепко. В коридор выходило несколько дверей из других комнат, и в каждой торчало по любопытной голове — очевидно, глупый смех принадлежал именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сцена, как и все поведение Пепки, разыгрывавшего шута. Последнее сказывалось главным образом в тоне его голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за собой дверь, огляделся и поставил

на стол полбутылки водки, две бутылки пива и достал из кармана что-то очень подозрительное, завернутое в довольно грязную бумажку.

— А на закуску-то и не хватило... — резюмировал Пепко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мне показалось, что сегодняшний Пепко был совсем другим человеком, не походившим на вчерашнего.

— Главизна зело трещит? — обратился он ко мне, глядя куда-то в угол. — Нечего сказать, хороши мы были вчера... Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу...

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел на дверь и еще раз плюнул.

— Проклятая баба... — ворчал Пепко, подходя к письменному столу и вынимая из письменного прибора вторую, чистую чернильницу. — Вот из чего придется пить водку. Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и я имел удовольствие слышать, как

он потребовал стакан отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подозрений.

Когда я наотрез отказался опохмелиться, Пепко несколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумлением.

— Вообще ничего не пью... — виновато оправдывался я. — Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже хорошенько не помню всех обстоятельств.

— И отлично! — согласился Пепко. — Кстати, вы, кажется, и не курите?

— Нет, не курю...

Пепко быстро окинул меня испытующим взором, а потом подошел и молча пожал руку.

— Я могу только позавидовать, — бормотал он, наливая водку в чернильницу. — Да, я глубоко испорченный человек... За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноват старый черт Порфирыч...

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудачная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

... Но ведь бывают столкновенья,
Когда мы нехотя грешим.

Мне нравилась в Пепке та решительность, которой недоставало мне. Он умел делать с решительным видом самые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно делал... Например, как он развернул бумажку с подозрительным содержимым, которое оказалось обыкновенным рубцом.

— А знаете, Федосья прекрасная женщина, — говорил он, прожевывая свою жесткую закуску. — Я ее очень люблю... Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу... Тридцать пять с половиной самых лучших египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разговаривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь прошел целый ряд поколений, вернее сказать — здесь голодали поколения... Но это вздор, потому что и голод понятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Размягченный водкой, он

подсел ко мне на кушетку и заговорил о литературе. Это был опять новый человек. Пепко, видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой сдержанный характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной была задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. Пепко выслушал внимательно и отрицательно покачал головой.

— Вздор! — убежденно проговорил он, встряхивая головой. — Предприятие почтенное по замыслу, но, как простое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голубчик, не Франция... Там в самом воздухе висит культура. А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится проходить всю теорию словесности собственным горбом, начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты. [88] Да... До сих пор мы, русские, изобретаем еще часы, швейные машины и прочее, что давно известно. То же самое и в литературе.

Прибавьте к этому наше полное незнание жизни и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам помираем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только облизываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а правда... Если вы хотите узнать несколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

— Припоминаю... Быть репортером?

— Да... Досыта эта профессия не накормит, ну, и с голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед господом»... А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлично бы устроились... Дело в том, что единолично плачу за свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы платить, ну, десять рублей, значит, на каждого пришлось бы по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я ведь тоже болтаюсь с газетчиками, хотя и живу не этим... Так, между прочим...

Это предложение застало меня совершенно врасплох, так что я решительно не мог ответить ни да, ни нет. Пепко, видимо, огорчил-

ся и точно в свое оправдание прибавил:

— А какие у меня соседи: рядом черкес, потом студент-медик, потом горняк... Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.

Глава 5

Предложение Пепки переехать к нему в комнату вызвало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С одной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможности, как пункт какого-то предварительного заключения, и поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одиночество с другим, подобным мне существом, — это инстинктивное тяготение к дружбе и общению — лучшая характеристика юности; а с другой, — я так же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право — сидеть одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер отличался некоторою скрытностью и я почти не имел друзей, а затем у меня была какая-то непонятная костность, почти боязнь переме-

нить место. Являлся почти мистический страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае решающим обстоятельством являлся все тот же повесившийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о канатчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало казаться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило главным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нарушено в общем настроении, и меня неотступно преследовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не решился бы признаться самому близкому человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило из головы высказанное Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я относительно этой специальности имел самые смутные представления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, я, наконец, решился оставить свою одинокую комнату. Хозяева от-

неслись к моему решению совершенно индиферентно, как настоящие петербургские хозяева, которым все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренне пожалела меня одна чухонка Лиза, которая крала мой сахар и чай самым добросовестным образом.

— Порфир Порфирыч екал? — догадывалась она, помогая мне вытащить мой тощий чемодан.

— Нет, к товарищу...

— Пьяница? — еще раз сделала она попытку угадать.

— Вы говорите глупости, Лиза...

Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обозлился на проницательную чухонскую девицу. Нечего сказать, недурное напутствие...

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Федосья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиными покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно, смотрел на нового жильца своими слезившимися окнами... Вообще хорошего

было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемодан очутился в комнате Пепки. Ведь этим простым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда терял свою голодную свободу... Кто знает, что было бы, если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнесся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением письма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, марку, сургучную печать, — конверт был домашней работы и поэтому запечатан, что дало мне полное основание предположить о его далеком провинциальном происхождении.

— Это прямо к тебе относится, — проговорил Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо, — он перешел на «ты» без всяких предисловий. — Вот, слушай... Это пишет моя добрая мать... «А больше всего, Агафоша, осте-

регайся дурных товарищей...» Понимаешь, не в бровь, а прямо тебе в глаз. Дальше: «... в столицах очень много блеска, но еще больше дурных примеров и дурных людей, которые совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопытный юноша — это я... Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждого, даже столичного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, которая думает то же самое, что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же письма с мудрыми предостережениями относительно дурных товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне писала не «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня лежало только что вчера полученное письмо, в таком же конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из противоположного конца России. И Пепко и я были далекими провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатлением этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием»,

вроде рубца, дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосторожность отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, то Пепко принял с ней совершенно другой тон.

— Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить нам самовар? — говорил он совсем другим тоном, точно сам заплатил за квартиру. — И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую дозу нахальства, что мне очень не понравилось. Впрочем, Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. Пепко принимался ругаться раза три.

— Если бы у меня были часы, — повторял он с особою убедительностью, — я показал бы ей, что нельзя ставить самовар целый час. Вот проклятая баба навязалась... Сколько она испортила крови моего сердца и сока моих

нервов! Недаром сказано, что господь создал женщину в минуту гнева... А Федосья — позор натуры и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием аффекта мог достигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечатление нарушалось только несколько однообразной жестикуляцией, — в распоряжении Пепки был всего один жест: он как-то смешно совал левую руку вперед, как это делают прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священное негодование Пепки сейчас же упало, как только появился на столе кипевший самовар. Может быть, его добродушное старческое ворчанье напоминало Пепке его «одну добрую мать», а может быть, просто истощился запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда несколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью раздавались наводившие тоску свистки финляндских пароходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светляки.

На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной птицы.

— Как это странно, — говорил Пепко, выпив залпом три стакана, — как странно, что вот мы с тобой сидим и пьем чай...

— Что же тут странного?

— Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нужно тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что делается кругом меня. Сделаем простое предположение: не будь «медного всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встретились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынок природы»[89] колотил бы свой дырявый челн... А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться свистками этих подлых финляндских пароходишек. Лично мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно в сорок рублей с копейками... да. Считай: пять концов по Николаевской железной дороге... Да, так меня удивляет вот то, что мы сидим и пьем чай: я — уроженец далекого северо-востока, а ты — южанин. Есть даже нечто трога-

тельное в этом сближении, и, выражаясь высоким слогом, можно определить настоящий момент следующей формулой: в недрах «Федосьиных покровов», у кипящего самовара, далекий северо-восток подал руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим выражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший самовар просто напоминал нам наши далекие гнезда, где, вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспоминали отлетевших птенцов.

— А знаешь, что привело нас сюда? — неожиданно обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест. — Ты скажешь: любовь к знанию... жажда образования... Хе-хе!.. Все это слова, хорошие слова, и все-таки слова... Сущность дела гораздо проще: образование образованием, а хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой провинциал и едет в Питер... Это настоящая осада, и каждый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинция сваливает сю-

да свое сырье, а получает обратно уже готовый фабрикат... Мена, во всяком случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищам... Вот поучительная картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, который тащится в Петербург с добрыми намерениями вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная жажда жить по-человечески, — все это доводит до преждевременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет не успевших даже проявить себя талантов, сильных людей, может быть, гениев, — смотришь на эти могилы и чувствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников-мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуясь простому физическому закону центростремительной силы. И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то есть мы, а на нашу смену готовятся в неведомой провинциальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непроизводительно и с каким замечательным самопо-

жертвованием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда с скромной целью протискаться вперед и занять место за столом господ. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать...

— Как мне кажется, ты немножко противоречишь себе... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

— Э, голубчик, оставим это! Человек, который в течение двух лет получил петербургский катарр желудка и должен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно право — быть откровенным с самим собой. Ведь я средний человек, та безразличность, из которой ткется ткань жизни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи...

В этой реплике выступала еще новая черта в характере Пепки, — именно — его склонность к саморазъедающему анализу, самобичеванию и вообще к всенародному покаянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, чем он был на самом деле, что я понял только впоследствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, поддавшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосьиных покровах» раздалась сердечная нота и пахнуло теплом далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о своем.

— Моя генеалогия довольно несложная, — объяснял Пепко с иронической ноткой в голосе. — Мои предки принадлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще — просто душили несчастных инородцев... Вообще наша сибирская генеалогия отличается большой скромностью и кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или дедушкой, который сам гнал и истреблял. В том и другом случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя не лучше... Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только ближайших предков, одного доброго папашу и одну добрую мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого человека.

Из этих рассуждений Пепки для меня ясно выступало только одно, именно — сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на

его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужеядных, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его лица и в самом тоне голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

— Ах, какая забавная эта одна добрая мать, — повторял Пепко, натягивая на себя одеяло. — Она все еще видит во мне ребенка... Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любезный друг Василий Иваныч: с завтрашнего дня я устраиваю революцию — пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до двух часов лекции, вообще занятия, затем обед...

На последнем слове Пепко запнулся: в про-

спекте его жизни появлялась неожиданная прореха.

— А, черт, утро вечера мудренее! — ворчал он, закутываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. А я долго не мог уснуть, что случалось со мной на каждом новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, полузабытые воспоминания, анализы сегодняшних разговоров... А невские пароходы, как назло, свистели точно под самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались шаги, говор, хохот — жизнь в «Федосьиных покровах» затихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одиночество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата нет, а оставалось одно — идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти

письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки... Засыпая, я составлял проспект собственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни на одну иоту. Странно, что эта добросовестная работа нарушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из проспекта самые лучшие параграфы...

Глава 6

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект жизни» подвергался большим испытаниям и требовал постоянных «коррективов», — Пепко любил мудреные слова, относя их к высокому стилю. Зависело это отчасти от несовершенства человеческой природы вообще, а с другой стороны — от общего строя жизни «Федосьиных покровов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали все необходимое в установленный срок, а затем уходили на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал обед...

Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, которые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скромном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доброй матери». Он голодал по целым неделям, молча и гордо, как настоящий спартанец. Я несколько раз предлагал ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное презрение.

— Вздор... пустяки... — бормотал Пепко и только в крайнем случае позволял позаимствовать гривенник, причем никогда не говорил: «гривенник», а непременно — «десять крейцеров».

В моменты случайной роскоши он вел счет на франки, и по этой терминологии можно было уже судить о состоянии его финансов.

Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах являлась для Пепки проклятым вопросом, разрешение которого разбивало

вдребезги лучшие параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные комбинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и в большинстве случаев самые трогательные усилия в результате давали круглый нуль.

— Нет, в каком обществе я вращаюсь? — взывал обозленный Пепко, обращаясь к неумолимому року. — Мои добрые знакомые не имеют даже свободного рубля... Говоря между нами, это порядочные идиоты, потому что каждый нормальный человек обязательно должен иметь свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть несколько повежливее... Наконец, и моему терпению есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федосьиной комнаты, а она что-то чавкает... Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? Удивляюсь...

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и маленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студент

медицинской академии, дальше другой студент-медик Соловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и материальное положение всех жильцов было приблизительно одинаково, за исключением студента Соловьева, который существовал игрой на бильярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользовался широкой популярностью и выигрывал порядочные «мазы». В общежитии это был очень скромный молодой человек, по целым дням корпевший над своими лекциями. Больше других голодал, по видимому, черкес Горгедзе, красавец мужчина, на которого было жаль смотреть — лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался большим скептицизмом и даже не старался изыскать средств к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам ходил по комнате, как маятник.

— Черкес голоден, — говорил Пепко, прислушиваясь к этому голодному шаганью. — Этакий лев, и вдруг ни манже, ни буар... Ведь

такой зверь съест зараз целого барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.

Курсистка была на особом положении и пользовалась общим вниманием. Федосья считала своей священной обязанностью следить за каждым ее шагом и относилась к ней с совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой, как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часом позже, Федосья сейчас же сообщала нам об этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее томила мысль о том мужчине, который должен был быть у курсистки, — иначе Федосья не могла представить себе эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследования не могли открыть ни малейшего признака мифического мужчины, и Федосья приходила к логическому заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скромную девушку лет двадцати, — у нее были и волосы серые, и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по це-

лым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе, — ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои маленькие услуги, какие должен оказывать истинный джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что Пепке оставалось только пожимать плечами, и он называл упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его соображениям, выходило очень смешным и до известной степени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая схимница.

— Ей хорошо, — злобствовал Пепко, — водки она не пьет, пива тоже... Этак и я прожил бы отлично. Да... Наконец, женский организм гораздо скромнее относительно питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым неделям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а еще Аристотель сказал, что человек — общественное животное. Одним словом, женский вопрос... Кстати, почему нет мужского вопроса? Если равноправность, так

должен быть и мужской вопрос...

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым трудным временем для Пепки. У него что-то вышло с членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем было дело — я не расспрашивал, считая такое любопытство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое строчил, а потом приносил обратно свои рукописания и с ожесточением рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни...

Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы должны были заниматься литературой. Я писал роман, Пепко тоже что-то строчил за своим столом. Он уже целых два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и впал в мёртвозлобное настроение. Мои средства тоже истощились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. В комнате было тихо, и можно было слышать, как скрипели наши перья.

— А, черт... — ворчал Пепко, время от времени делая передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие десять крейцеров, и молчал. Наконец, мучения Пепки перешли всякие границы, и он проговорил мрачным голосом:

— Есть десять крейцеров?

— Увы, нет...

Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.

Какая это ужасная вещь — голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание. Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, почему нам тогда не пришла самая простая мысль, именно — готовить обед самим... Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоястием было втрое дороже и не достигало цели. Даже рубец в нашем меню является большой роскошью... Удивительнее всего то, что студенты-медики на голодный желудок изучали свою гигиену, которая так

любезно предлагает самые рациональные методы питания, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем, мы, как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по своей женской части могли обсудить вопросы питания более практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слюну, челюсти Пепки сводила голодная позевота. И все-таки десяти крейцеров не было... Чтобы утишить несколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Наконец, его осенила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шляпу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут через десять он вернулся веселый и счастливый.

— Эврика! — проговорил он, добывая из кармана полфунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной колбасы. — Я перехитрил fortunam adversam...[90] Предадимся чревоугодию...

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, облегченно вздохнул и даже рас-

стегнул свой пиджак, причем я убедился в отсутствии жилета.

— Проклятый закладчик дал всего десять крейцеров... — конфузливо проговорил Пепко на мой немой вопрос. — Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал его читать, иронически подчеркивая все особенности женского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до слез, поддаваясь его веселому настроению.

— «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличавшей серьезную силу и ловкость»... Есть!.. «Но в усталых глазах (почему в усталых?) преждевременно светился недобрый огонек...» Невредно сказано: огонек! «Меланхолическое выражение этих глаз сменялось неопределенно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойным». Вот учись, как пишут...

Мы очень весело провели наш вечерний чай, позанимались еще часа два и, по программе, в девять часов улеглись спать.

— Я чувствую себя в положении боа-констриктора,[91] который только что сожрал целого теленка, — объяснял Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле. — Да... И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились заснуть, как было назначено в нашей программе, но именно в этот критический момент в коридоре послышались легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери черкеса. «Войдите», — отвечал грубоватый мужской голос, а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: «Ах, это вы»... Дальше послышался сдержанный шепот и что-то вроде поцелуя...

— А, черт... — обругался Пепко в пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу комнату от комнаты черкеса,

мы сделались настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малейший шорох, точно наша комната превратилась в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему аккомпанировал смущенно-счастливый смех... Я напрасно прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с головой под одеяло, — мы были беззащитны. Если бы в соседней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чем этот раздражавший полушепот, тихий смех и паузы.

— А, черт... — еще раз обругался Пепко, зажигая лампу. — Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные человеки думают только о себе...

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помогло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял высоко плечи и заявил:

— Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, когда ты уходил из дому... Но тогда приходили другие — я в этом убежден. По голосу слышу... О, проклятый черкес!.. Ты

только представь себе, что вместо нас в этой комнате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» к трагически воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

Глава 7

Первые печатные строки... Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было писано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма.

— Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое общество от «Нашей газеты», — сурово заявил мне Пепко в одно совсем непрекрасное «после-обеда».

— Что же я там буду делать? — откровенно недоумевал я.

— Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и прения, а завтра к утру составишь отчет... Самое простое дело.

— Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не смыслю... Что-то такое о жучках, бабочках, козявках...

— Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, а в сущности — вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будет свежее впечатление... А публике нужно только с пылу, горячего.

— Однако что же я буду писать, если незнаком даже с научной терминологией?

— Э, вздор... А впрочем, мне некогда.

Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему, и поэтому он относился свысока и ко мне и к Федосье. Он где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то стишки, — последнее для меня было неожиданным открытием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным образом скрывался поэт... У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принес номер уличного листка и показал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых,

выкупил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обедать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой, увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приобрел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, кроме поэтического жара, владел сладким искусством тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пшеничным тенорком» очень жалобные и чувствительные строфы.

— Эстетика в жизни все, — объяснял Пепко с авторитетом сытого человека. — Посмотри на цветы, на окраску бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой молоденькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен, — это тоже эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть в области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуков... Почему соловей поет?..

— Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомологическое общество? — спрашивал я, прерывая эту философию эстетики. — У меня,

кроме высоких сапог и пестрой визитки, ничего нет...

— Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным Пепкой компромиссом, я опять повергся в бездну малодушия, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: он относился к ученым свысока. Единственным основанием для этого могло служить только то, что он в течение трех лет своего студенчества успел побывать в технологическом институте, в медицинской академии, а сейчас слушал лекции в университете, разом на нескольких факультетах, потому что не мог остановиться окончательно ни на

одной специальности. Самый способ слушания лекций у Пепки превращался в жестокую критику профессоров, причем он любил выражаться довольно энергично: «балда», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был вообще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседание Энтомологического общества, говорил в назидание:

— Я тебе открою секрет не только репортерского писания, но и всякого художественного творчества: нужно считать себя умнее всех... Если не можешь поддерживать себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя в то время, пока будешь сидеть за своим письменным столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя прохвостом, который забирается самым нахальным образом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сано-

витый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то наверх. Зачем существуют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с продырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда взбирался по широкой министерской лестнице во второй этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции «Нашей газеты». Он так же молча, как швейцар, указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался слишком рано и в течение целого часа мог любоваться лепным потолком громадной министерской залы, громадным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой бумаги, которые были разложены по столу перед каждым стулом, — получалась самая зловещая обстановка гото-

вившегося ученого пиршества. У меня что-то заныло под ложечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил двух молодых людей, шушукавшихся в углу залы. Это были, видимо, начинающие ученые, которые забрались в качестве новичков тоже раньше других. Потом явились еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, как неудавшегося оригинала. Заседание открылось только с прибытием ученой женщины, солидно занявшей главное место. Я не помню, как около моего столика точно из земли вырос какой-то юркий молодой человек в золотых очках, который спросил меня без всяких предисловий:

— Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей

газеты» приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем большой распространенной газеты и поэтому держал себя с соответствующим апломбом. Затем явились еще два репортера — один прилизанный, чистенький, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, с припухшими веками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь читал протокол предыдущего заседания, потом следовал доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Германии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть специально ученую ложь, уснащенную стереотипными фразами: «беру на себя смелость сделать одно замечание уважаемо-

му докладчику», «наш дорогой Иван Петрович высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я решаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обилие никому не нужных канцелярских слов и торжественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, ненужных слов, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной науки. Приблизительно происходило то же, что с немецким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти был занят совершенно посторонними наблюдениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схватывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния... Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду писать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, а

если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, потому что появится возражение. Одним словом, скверно, а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пепку уже в постели. Он спал сном младенца, и меня это огорчило: мне не с кем было даже поделиться своим отчаянием. Вообще скверно... Я мог только попросить Федосью разбудить меня завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смертной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замечаний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до известной степени целое. Это была жестокая практика... Убивало главным образом то, что нужно было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.

— Теперь неси его к Фрею, — говорил Пепко. — Его найдешь в трактире у Симеониевского моста... Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне каза-

лось, что Фрей отнесется ко мне с презрением и засмеется прямо в лицо. Но Фрей не высказал никаких особливых враждебных чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча сунул его себе в карман и самым равнодушным тоном проговорил:

— Хорошо...

«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о заседаниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла из одних жучков...

Наступило утро, холодное, туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Конечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в котором должен был появиться мой отчет. Наконец, звонок, Федосья несет этот роковой номер... У меня кружилась голова, когда я развертывал еще не успевшую хорошенько просохнуть га-

зету. Вот политика, телеграммы, хроника, разные известия.

— Напечатан? — спрашивает Пепко.

От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, испытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гребенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляция, вроде тех докладов, какие делали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

— Ничего...

— Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о которых я писал? Что скажет публика?.. Мне казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчет... Весь остальной мир существовал только как прибавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка...

— Ничего... — тянул из меня душу Пеп-

ко. — Завтра ты отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то черт написал целую диссертацию о греческих придыханиях...

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра греческие придыхания? Я только тут в первый раз почувствовал себя литературным солдатом, который не имеет права отказываться даже самым вежливым образом...

Глава 8

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от деся-

ти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и даже некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, — за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитейском смысле, погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его

изумительная аккуратность — аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получалось две неравных «половины»: с одной стороны — газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой — безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои ин-

триги, симпатии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраивали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоминаю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «академии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, что их уже нет — последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ довольно грустный: пьянство... Происходило это и от беспорядочности самой работы, и от периодических голодовок, и, может быть, по установившейся годами традиции. Я уже описал свою первую встречу с «академией»; последующие встречи были только повторением. Утром «академия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекочевывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, здесь обсуждались свои га-

зетные дела, здесь проходила вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая грустная страница в жизни нашей газетной богемы... Мы с Пепкой не могли избавиться от установившегося режима и время от времени сильно напивались. Происходило это без предварительного намерения, а как-то само собой, как умеет напиваться русский человек в обществе другого хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припадки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно — «мы немного ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти минуты.

— Смотри и молча презирай меня! — заявлял Пепко, еще лежа утром в постели. — Перед тобой надежда отечества, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и... Нет, это невозможно!.. Дай мне орудие, которым я мог бы прекратить свое гнусное существова-

ние. Ах, боже мой, боже мой... И это интеллигентные люди? Чему нас учат, к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравственность?..

— Да будет тебе, Пепко! Надоел... Причитаешь, как наемная плакальщица.

— Нет, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, кожа светится пьяным жиром — вообще самый гнусный вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупающих поступков, как очистительная жертва. Всякое правонарушение требует жертв... Например, придумать и сказать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой недели, или — прочитать залпом самый большой женский роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем скорее наступала новая «ошибка». В психологии преступности есть своя логика...

Прилив средств и необходимость деловых сношений с «академией» совершенно нару-

шали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку и сообща самые торжественные клятвы, что это последняя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, которыми вымощен ад.

— Что же это такое? — взывал Пепко, изнемогая в борьбе с собственною слабостью. — Еще один маленький шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев... Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, вечный запах перегорелого вина — нет, благодарю покорно! Не согласен... К черту всю «академию»! Я еще молод и могу подавать надежды, даже очень просто... Наконец, благодарное потомство ждет от меня соответствующих поступков, черт возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила коррективъ.

Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые об-

щества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убегал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.

— А, черт... — ворчал он, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу... Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны — оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоин-

ства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, — от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, — она умела

улыбаться самым глупым образом.

— Что такое случилось, Федосья Ниловна?

Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами... В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и «Ночь». «Турки» были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал... На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.

— Рекомендую: мой друг, — рекомендовал меня Пепко. — Отличный парень, а главное — замечательный талант.

— В каком смысле? — осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.

— Во всяком, милая Ночь...

Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно миловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

— Ну, вот и отлично! — одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.

— Что это значит? — спросил я, продолжая не понимать.

— Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявились все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой...

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность — нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.

— Гризетки из Латинского квартала, — резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыг-

равшиеся котята. Мы танцевали кадриль, польки, вальсы — вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.

— Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? — спохватился Пепко немножко поздно.

— Угадайте...

Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:

— Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость...

По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

— А ты — Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.

Глава 9

— Что такое женщина? — спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. — За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики...

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще «резвость дитяти».

— Что с тобой, Пепко?

— Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожидан-

но захохотал, сделав глупое лицо.

— Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, — мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.

— Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? — заметил я, подавая реплику.

— О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... Да, величайшая тайна, больше — тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря![92]

— Где цезарь, Пепко?

— Цезарь — это я, то есть цезарь пока еще

в возможности, in spe. Но я уже на пути к этому высокому сану... Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый миг... В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

— По-моему, она очень некрасива...

— А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих покойников»:

— А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на тебя. И ты в свою оче-

редь...

— Нельзя ли меня оставить в покое.

— Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надежда — сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?

— Да, что-то в этом роде... Они приглашали нас к себе как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще...

— Да, милые... А Горгедзе?..

— Он просто знакомый... Бывает у них. Ничего особенного...

— Гм, да... Вещь обыкновенная.

Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня, стиснув зубы. В воздухе пронеслась одна из тех невысказанных мыслей, которые являются иногда при взаимном молчаливом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмотрел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пепку головой... Пепко уже раскаивался в своей откровенности и в то же время обвинял меня, как главного виновника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вернуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая тайна, о которой он не говорил, но относительно существования которой я мог догадываться по разным аналогиям и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, я, во-первых, открыл существование в его инвентаре нескольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вышитая шелком закладка для книг, таковая же перотерка и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем некоторых поступков, не соответствовавших общему характеру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на имя Пепки получались таинственные письма, которые не имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в карман. Не нужно было особенной проницательности, чтобы догадаться о существовании какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании этой таинственной осо-

бы и с ехидством обезьяны каждый раз сама приносила письма Пепке.

— Опять письмо... — говорила она, пожирая глазами Пепку.

— А, черт!.. — ругался Пепко.

Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу комнату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:

— Вас спрашивает какая-то дама...

Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действительно стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью. Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вернулся взбешенный до последней степени. Его имя компрометировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и промелькнул перед нашими внутренними очами после сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, обманывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной гадости. Мучила молодая совесть...

Когда Пепко после утренней откровенно-

сти вышел, в комнату заявилась Федосья. Она как-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко мне с следующим воззванием:

— Самый невероятный Фома!..

— Кто?..

— А сам-то Агафон Павлыч... Разве это хорошо: и даму обманывает и девушку хочет обмануть. Конечно, она глупая девушка...

— Какую даму?

— А та, которая с письмами... Раньше-то Агафон Павлыч у ней комнату снимал, ну, и обманул. Она вдова, живет на пенсии... Еще сама как-то приходила. Дуры эти бабы... Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и молчи... А я бы этому Фоме невероятному все глаза выцарапала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался... Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове живет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе...

«Фома неверный», переделанный Федосьей в «Фому невероятного», получил специальное значение в смысле вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом ответил:

— Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша

слабость говорить о том, чего вы не знаете...

— Я-то не знаю?!..

Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмахнула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы. Я понял только одно, что благодаря Пепке с настоящего дня попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид заговорщика и в одно прекрасное февральское утро заявил мне, что в следующее воскресенье мы отправимся к Вере и Надежде.

— У этих милых девушек один недостаток: надежда должна быть старше веры, eo ipso, [93] а в действительности Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологической неточностью можно помириться, потому что она умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми глазками...

— Надеюсь, что твоя Ночь будет там?

— Ну, этого я не знаю, — откровенно соврал Пепко. — Может быть...

Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пепко сначала отмалчи-

вался, а потом заговорил, продолжая какую-то тайную мысль:

— Да вообще, ежели рассудить...

— Что рассудить?

— А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, что все так просто: встретились случайно с какими-то барышнями, получили приглашение на журфикс и пошли... Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумолимый закон... Да, закон, который гласит коротко и ясно: на четырех петербургских мужчин приходится всего одна петербургская женщина. И вот мы идем, повинуясь закону судеб, влекомые наглядной арифметической несообразностью...

— А ты не можешь без философии?

— Самому дороже стоит...

Квартира наших новых знакомых помещалась во втором этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатление получалось довольно невыгодное, начиная с темной передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной квартирки. Дальше следовал небольшой зал, обставленный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было прибрано. Нас встрети-

ла довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Федосью. Впоследствии она оказалась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офицер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в военной форме, пожилой, лысый, с ласково бегавшими маслеными глазами.

— Люба обещала прийти... — заметила белокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбавшимися глазками.

— Я не знаю, как ты решилась ее пригласить, — брезгливо ответила Вера, пожимая плечами. — Мы с ней познакомились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, я это так...

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не подан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за кухарку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес седой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, который держал себя другом дома. Он называл девиц попросту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, переглядывались и даже толкали смешного старика. Разговор шел о

Немецком клубе и неизвестных нам общих знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда не бывал. В общем все-таки ничего интересного не получалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора — ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, что они одевались очень скромно, без всяких претензий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белокурая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше старшей Веры, которая была красивее, — я не любил брюнеток.

— Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное общество, — шепнул мне Пепко, отводя в сторону. — От скуки челюсти свело... Недостает еще отца дьякона, гитары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.

Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановке. Чего-то недоставало и

что-то было лишнее, как лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К числу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое самостоятельное значение, — «мамаша без слов» играла за тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с большим чувством самые модные романсы. Под это фортепиано мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле наших хореографических упражнений. Увы! — нынче такие цимбалы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, а с ними исчезло и дешевенькое веселье.

Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз готовила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в передней забренчал звонок. Это была она... Надя посмотрела на Пепку улыбавшимися глазами и выскочила встречать гостью. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого молодого человека иудейского происхождения. Он отрекомендовался помощником провизора, и

Пепко побледнел, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть может — обществом интересного кавалера. Юркий еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни чувствовали его своим человеком.

— Я его убью... — сообщил мне Пепко по секрету. — Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, потому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. Общее впечатление портила только эта специально провизорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Девица Любовь держала себя с большим тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении своего кавалера с заранее обдуманным намерением, именно, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из кожи, чтобы затмить проклято-

го провизора. Танцевал он очень недурно. Потом следовала вокальная часть, — пела Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой номер отдельно.

— Илья Самсоныч, пожужжите, — приставала к нему Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Интендантский чиновник хотя и танцевал, но должен был изображать спящую на диване болонку, что выходило тоже смешно. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

— Господа, у кого есть пятиалтынный? — спрашивал он.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя пальцами, — у него была страшная сила в руках. Этот фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал подававшего надежды молодого человека.

— О, вы далеко пойдете! — повторял ста-

рик.

Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошептала:

— Вы приходите как-нибудь один...

Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой опасной дороге шел ее Пепко...

Глава 10

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал какие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, обманывая больше всего самого себя, а потом начал пропадать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное — была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отча-

яния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим — и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно — ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранников, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще — разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, — действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в

свете и до меня еще никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда — собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета — белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описать свое родное гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю, — все это было так серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Пепко был прав, когда говорил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, далеко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было написать, сидя в своей проклятой мурье? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую

жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это — описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам, которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем a la Гоголь, потом старательно

усвоил себе манеру красивых описаний a la Тургенев и только под конец понял, что к гоголевская природа и тургеневская — обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова, — эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно познакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца род-

ная... Красота вообще — вещь слишком условная, а красота типичная — величина определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, — все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря — тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, — все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячью ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по

лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и относился к печатным строчкам с гонорарной точки зрения. Во всяком случае, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила в круг новых знаний и новых людей. Своих товарищей-репортеров я видал очень редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» по прежнему сходилась в трактире Агапыча или в портерной. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, с отчетом в трактир.

— Их нет-с... — заявил Агапыч, осклабляясь.

— Как нет?

— Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду прочим вы их найдете в портерном заведении...

Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in corpore.[94] Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, потому что все были рады поделиться с новым человеком новостью.

— Ау, братику! — крикнул Гришук, размахивая длинными руками.

— Не в этом дело, юноша... — бормотал Порфир Порфирыч, ухватив меня за руку. — Не в этом дело-с, а впрочем, весьма наплевать...

— Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснил все одной фразой:

— «Наша газета» приказала долго жить... Приостановка на три месяца. Да...

— Почему? как?..

— А мы с одним министерством будировали, ну, нас и по шапке. Дрянь дело, вообще...

Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая, — он был специально пьян по случаю закрытия газеты.

— Ох, и мер же я все это время, юноша, — объяснял он мне, подмигивая. — Вот как мер... Даже распух с голоду. Работать не мог, все болит, башка пустая — ложись и помирай. А тут хозяйка за квартиру требует, из дому выйти не в чем... Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, а жив, и жива душа моя. Учись, о юноша, житейской философии... Например, некоторый пьяница не хотел умирать с голоду, а посему отправился к некоторому добродетельному гробовщику со слезницей, — «так и так, выручай». Ну, гробовщик осмотрел натуру оного пьяницы и предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух двугривенных». — «А как же вы, милостивец, другим факельщикам даете по полтине?» — «У других натура выше, а

с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником... Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сцене с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, труден и тернист путь, а отрада обходится дорого... Но не в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собственными несчастиями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общего тяжелого настроения. Положение во всяком случае получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего было думать устроиться даже в приблизительной форме. Главным страдающим лицом от приостановки издания являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три месяца, а нам «кусать» было нече-

го.

— Скверно! — резюмировал Фрей общее положение дел, как капитан севшего на мель корабля. — Да... Человек, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «академию», чтобы узнать новость из первых рук. Он был вообще в скверном настроения духа и выругался за всех. Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться Фрей сердито кусал свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добром.

— Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно готовиться? — обратился он ко мне. — Скверно... А вот что: у вас есть богатство. Да... Вы его не знаете, как все богатые люди: у вас прекрасный язык. Да... Если бы я мог так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься — это дар божий... Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишите, а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попробуйте вы написать небольшой рассказец.

— Право, я не знаю... Ничего не выйдет.

— А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-нибудь настрочите... Если вас смущает сюжет, так возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали там, у себя дома. Чтобы этакий couleur locale [95] получился... Есть тут такой журналец, который платит за убийства. Все-таки передышка, пока что...

— Попробую...

— Спасибо после скажете.

Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пепке. Общее несчастие еще теснее сблизило всех.

— Есть у меня некоторый содержатель хора певиц, — рассказывал старик. — Он такой же запойный, как и я. Ну, в одной трущобе познакомились... У него такая уж зараза: как попала вредная рюмочка — все с себя спустит дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыганские романсы. Ну и предлагает мне написать романс и предлагает по четвертаку за строку... А я двух стихов не слеплю, тем более что тут особенное условие: нужно, чтобы везде ударение приходилось на буквы

а, о и е. Только и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое... Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело отменное во всяком случае...

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов.

— А, черт, все равно! — ворчал он, сердито ероша волосы. — Будем писать а, о и е.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское великодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной стоял шум и говор.

— Ну, а вы что думаете, полковник? — приставали к Фрею.

— Я? А не знаю... Впрочем, кажется, придется обратиться к Спирьке.

— Э, да вон и сам он, легок на помине!

В портерную входил среднего роста улыбавшийся седой старик купеческой складки с каким-то иконописным лицом и сизым носом.

— Про волка промолвка, а волк в хату, — весело заговорил купец, здороваясь. — Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порешили... Ну, что же делать, случается и хуже. Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице... хе-хе!..

— Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пахнет!..

— Жареное-то впереди... К Агапычу, што ли, отцы?..

Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку и проговорил:

— Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели что касаемо, например, денег... Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил мне на лестнице:

— Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст... Этот фокус он проделывает с каждым новичком, чтобы пофорсить. Вот по части выпивки — другое дело. Хоть обливайся... А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгонош, а теперь имеет лавчонку с

книгами, делает издания для народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и устроить дешевку... Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз приходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

— Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы заглавие было того, позазвонистее, — говорил Спирька. — А уж насчет цены будь спокоен... Знаешь, я не люблю вперед цену ставить, не видавши товару.

— Ладно, знаю, — сумрачно отвечал полковник. — Опять надуешь...

— Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько он от меня хлеба едал... Я-то надую?.. Ах ты, братец ты мой, полковничек... Потом еще мне нужно поправить два сонника и «Тайны натуры». Понимаешь? Работы всем хватит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы... Название-то есть для романа?

— Есть: «Тайны Петербурга».

— Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче с тайнами-то: у меня уж есть «Тайны Мадрита», «Тайны Варшавы»... А промежду прочим увидим... хе-хе...

Глава 11

Спиридон Иваныч Редкин был типичным дополнением «академии». Он являлся в роли шакала, когда чуял легкую добычу, как в данном случае. Заказывая романы, повести, сборники и мелкие брошюры, он вопрос о гонораре оставлял «впредь до усмотрения». Когда приносили совсем готовую рукопись, Спирька чесал в затылке, морщился и говорил:

— А ведь мне не нужно твоего романа...

— Как не нужно? Ведь вы же заказывали, Спиридон Иваныч...

— Разве заказывал? Как будто и не упомню... Куды мне с твоим романом, когда своего хлама не могу сбыть.

Это было стереотипное вступление, а затем, поломавшись по положению, Спирька говорил:

— Ну, уж для тебя только возьму... На за-

тычку уйдет.

Под рукопись выдавался такой микроскопический аванс, что даже самая скромная бактерия наверно умерла бы с голоду. Остальные деньги следовали «по напечатании» и тоже выдавались аптекарскими дозами, причем Спирька любил платить натурой, то есть предметами первой необходимости, как шуба, пальто, сапоги и другие принадлежности костюма, причем в его пользу оставался известный процент, по соглашению с лавочником. Платить наличными деньгами Спирька терпеть не мог и вытягивал жилы мелкими подачками. И все-таки в минуту жизни трудную Спирька являлся для «академии» якорем спасения, и все его любили. Вот по части угощения Спирька ничего не жалел, и его появление служило синонимом дарового праздника. Спирька систематически спаивал всю «академию».

Меня удивило открытие, что Фрей пишет романы, — я не подозревал за ним этого таланта.

— Ну, это дело особенное, — объяснил Пепко, — Фрей знает три языка... Выберет что-ни-

будь из бульварной литературы, переставит имена на русский лад, сделает кое-где урезки, кое-где вставки, — и роман готов. За роман в десять листов он получит со Спирьки рублей семьдесят, а то и все сто. Ничего, можно работать на голодные зубы... Все-таки хоть что-нибудь. Это не то, что мои романсы с а, о и е. Вот подлая вещь... И как это в жизни все происходит роковым образом: прижало человека к стене, а тут враг человеческого рода в лице Порфирыча и подкатится горошком. На, продавай себя в размен...

Пепко находился в ожесточенно-мрачном настроении еще раньше закрытия «Нашей газеты». Он угнетенно вздыхал, щелкал пальцами, крутил головой и вообще обнаруживал несомненные признаки недовольства собой. Я не спрашивал его о причине, потому что начинал догадываться без его объяснений. Раз вечером он не выдержал и всенародно раскаялся в своих прегрешениях.

— То есть такого подлеца, как я, кажется, еще и свет не производил!.. — объяснял Пепко, ударяя себя в грудь. — Да... Помнишь эту девушку с испуганными глазами?.. Ах, какой

я мерзавец, какой мерзавец... Она теперь в таком положении, в каком девушке не полагается быть.

— Что же, дело, кажется, очень просто: тебе нужно жениться...

— Жениться? А если я ее не люблю?..

— Об этом следовало, кажется, подумать немного раньше.

— Разве тут думают, несчастный?.. Ах, мерзавец, мерзавец... Помнишь, я говорил тебе о роковой пропорции между количеством мужчин и женщин в Петербурге: перед тобой жертва этой пропорции. По логике вещей, конечно, мне следует жениться... Но что из этого может произойти? Одно сплошное несчастие. Сейчас несчастие временное, а тогда несчастие на всю жизнь... Я возненавижу себя и ее. Все будет отравлено...

Пепко ломал руки и бегал по комнате, как зверь, в первый раз попавшийся в клетку. Мне было и досадно за легкомыслие Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной девушки с испуганными глазами.

Пепко волновался целых три дня. Я делал вид, что ничего не замечаю, и это еще больше

его смущало. Он, видимо, жаждал какой-нибудь искупительной жертвы за свое грехопадение, а жертвы не было. Я уверен, что он был бы счастлив, если бы кто-нибудь бранил его, оскорблял и особенно если бы кто-нибудь был несправедлив к нему. В последнем случае для него являлась бы некоторая лазейка для самозащиты. Но я хранил упорное молчание, испытывая какое-то болезненное чувство, — пусть Пепко мучится молча и пусть он чувствует, что до его мучений никому нет дела. Есть вещи, которые творятся только с глазу на глаз.

— А, черт... — повторял Пепко, шагая из угла в угол. — Хоть бы нашелся мерзавец, который задушил бы меня.

Затем настроение Пепки вдруг пало. Случилось это утром, когда Федосья подала газету. Пепко пробежал номер, бросил его на пол и заговорил:

— Какие глупости, ежели разобрать...

— Что разобрать?

— Да все... Ведь земля еще вращается на своей оси, солнце еще светит, — следовательно, нет такого положения, из которого не бы-

ло бы выхода. Во-первых, нужно принять во внимание время, которое является всеисцеляющим врачом и затем, по итальянской пословице, самым справедливым человеком. Да... Затем, я займусь специально самосозерцанием по буддийскому методу. Это, брат, штука... Во мне вселенная и, следовательно, во мне же вся правда и вся неправда целого мира; а если это во мне, то я могу быть хозяином того и другого. В-третьих, то есть, наконец, всякое настроение можно уравновесить внешними впечатлениями. Это третье является единственным средством, и поэтому...

Пепко поднял газету с полу и прочитал:

— «Прощальный бенефис дивы... Патти.[96] уезжает... Идет опера «Динора»[97] Знаменитый дуэт Патти и Николини[98]». Как ты полагаешь относительно этого?

— Ничего я не полагаю, потому что у нас нет ни билетов, ни денег.

— Вздор!.. Все это вещи и понятия относительные. У меня есть два рубля...

— У меня около этого...

— И отлично. Четыре целковых обеспечивают вполне порядочность... Сегодня же мы

будем слушать «Динору», черт возьми, или ты наплюй мне в глаза. Чем мы хуже других, то есть людей, которые могут выбрасывать за абонемент сотни рублей? Да, я буду слушать Патти во что бы то ни стало, хоть бы земной шар раскололся на три половины, как говорят институтки.

Психология Пепки отличалась необыкновенно быстрыми переходами от одного настроения к другому, что меня не только поражало, но до известной степени подчиняло. В нем был какой-то дремавший запас энергии, именно то незаменимое качество, когда человек под известным впечатлением может сделать что угодно. Конечно, все зависело от направления этой энергии, как было и в данном случае.

Вечером мы отправились в Большой театр, где играла итальянская труппа. Билетов у нас не было, но мы шли с видом людей, у которых есть абонемент. Прежде всего Пепко отправился в кассу, чтобы получить билет, — расчет был настолько же верный, как возвращение с того света.

— А, черт... — обратился Пепко. — Идем в

пятый ярус!

Мы поднялись по бесчисленным лестницам к знаменитой «коробке», где изнывали счастливцы, получившие билеты ценой целонощного стояния в цепи у кассы. Пепко довольно развязно обратился к расшитому капельдинеру.

— Можно-с... — ответил театральный холуй, меряя нас взглядом с ног до головы. — Пять рублей с персоны...

— За что?

— А постоять у двери... Все будет слышно.

У нас было на двоих всего четыре рубля, и поэтому предложение капельдинера не могло быть осуществимо. Пепко заскрипел от ярости зубами, обругал капельдинера, и мы быстро ретировались во избежание дальнейших недоразумений.

— А я все-таки буду в театре, — повторял Пепко, спускаясь по лестнице. — Ведь другие будут же слушать... Затем, два рубля тоже что-нибудь значат.

Спустившись, мы остановились у подъезда и начали наблюдать, как съезжается избранная публика, те счастливцы, у которых были

билеты. Большинство являлось в собственных экипажах. Из карет выходили разряженные дамы, офицеры, привилегированные мужчины. Это был совершенно особенный мир, который мы могли наблюдать только у подъезда. У них были свои интересы, свои разговоры, даже свои слова.

— Ах, какая красавица... — восхищался Пепко, наблюдая каждую даму.

— Идем домой, Пепко...

— Нет, я должен быть там, в театре...

Мы простояли на подъезде с полчаса, и только с неба могла свалиться возможность попасть в заколдованный круг. И такая возможность пришла в лице простого мужика в нагольном полушубке.

— Вам госпожу Патти желательно посмотреть? — заговорил мужик, обращаясь к нам.

— Да...

— В лучшем виде: полтора целковых с рыла.

— У тебя есть билеты?

— Какие там билеты... Прямо на сцену проведу. Только уговор на берегу, а потом за реку: мы поднимемся в пятый ярус, к самой «ко-

робке»... Там, значит, есть дверь в стене, я в нее, а вы за мной. Чтобы, главное дело, скапельдинеры не пымали... Уж вы надейтесь на дядю Петру. Будьте, значит, благонадежны. Прямо на сцену проведу и эту самую Патти покажу вам, как вот сейчас вы на меня смотрите.

Предложение было более чем соблазнительно, и мы покорно последовали за дядей Петрой опять в пятый ярус.

Второй подъем даже для молодых ног на такую фатальную высоту труден. Но вот и роковой пятый ярус и те же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сделал нам знак глазами и, как театральное привидение, исчез в стене. Мы ринулись за ним согласно уговору, причем Пепко чуть не пострадал, — его на лету ухватил один из капельдинеров так, что чуть не оторвал рукав.

— А, черт... Чуть на язык не наступил, — ругался Пепко, шагая в темноте по узкой чердачной лестнице.

Еще одно мгновение, и мы на потолке Большого театра, представлявшем собой громадный сарай размером в хороший манеж.

Посредине из широкого отверстия воронкой шел свет от главной люстры. Несколько рабочих толпились около этого отверстия, точно сказочные гномы.

— Теперь, брат, шабаш!.. — заявлял торжествовавший дядя Петра. — Теперь вот скапельдинерам...

Он показал рукой символически-обидную фигуру и хрипло захохотал. «Скапельдинеры» были посрамлены, а мы торжествовали.

— Валяй, братцы, за мной, — командовал дядя Петра, шагая мимо рабочих. — Прямо на колосники предоставлю.

Наше похождение принимало фантастический характер, напоминая бегство из какой-нибудь средневековой тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощущение: вот сейчас под нашими ногами три тысяча избраннейшей публики, тот «весь Петербург», который пользуется всевозможными привилегиями на существование, любезно предоставляя остальному Петербургу скорлупки безвестного существования. В отверстие спущенной люстры доносился глухой, подавленный гул тысячной толпы, — мы точ-

но шли по крышке котла с начинавшей уже кипеть водой.

— Сюды!.. — кричал дядя Петра, скрываясь в дальнем конце потолка, где было совершенно темно. — Надейтесь на дядю Петру. Левее держи...

Дальнейшее путешествие приняло несколько фантастический характер. Мы очутились на краю какой-то пропасти. Когда глаз несколько привык к темноте, можно было различить целый ряд каких-то балок и дядю Петру, перелезавшего через них.

— Послушай, куда ты нас ведешь? Ведь этак шею можно сломать!

— Держи направо, — слышался голос дяди Петра, — самого его уже не было видно.

Мы ползли в темноте, цепляясь за какие-то бревна, доски и выступы. В некоторых местах приходилось в буквальном смысле ползти на четвереньках.

— А, черт... Коленку ушиб, — ругался Пепко.

— Забирай левее! — командовал дядя Петра.

Наконец, мы увидели сцену, то есть слабое

светлое пятно, которое чуть брезжило на дне пропасти. Спуститься в темноте с высоты пятого яруса было делом нелегким и рискованным, но молодость счастлива тем, что не рассуждает в таких случаях. Через десять минут головоломного путешествия в темноте мы, наконец, достигли «колосников». Это была узкая галерея, которая проходила над сценой сбоку. Кругом нас висел целый лес декораций, деревянные валы, которыми поднимали и опускали эти декорации, и целая сеть веревок, точно на каком-то корабле. Самая сцена была сейчас у нас под ногами. Там происходила ужасная суматоха, потому что устанавливали учениц и учеников театрального училища в красивые группы.

— Сейчас занавес дадут, — объяснял дядя Петра. — Вот он, Адам-то Адамыч бегает... седенький... Это наш машинист. Нет, брат, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, а вот когда «Царь Кандавл[99]» идет, ну, тогда уж его воля, Адама Адамыча. В семь потов вгонит... Балеты эти проклятущие, нет их хуже.

Поднялся занавес, заиграл оркестр, хор что-то запел.

— Вот она, Патти, за кулисой сидит... платочком закрывается.

Это была она, знаменитая дива... С высоты колосников можно было видеть маленькую женскую фигурку, кутавшуюся в теплый платок. Ее появление на сцене вызвало настоящую бурю аплодисментов. Говорить о том, как поет Патти, — излишне. Особенно хороши были дуэты с Николини. Увы! нынче уж так не поют...

Мы добились цели и прослушали всю оперу. После спектакля на бесчисленные вызовы Патти исполнила знаменитого «Соловья» и еще какие-то номера.

— Теперь валяй за мной на сцену, — командовал дядя Петра.

Мы повиновались. Спуск с колосников шел по винтовой железной лестнице. В зале буря не смолкала. Мы шли по сцене, прошли к тому месту, где сидела дива. Мы остановились в двух шагах. Худенькая, смуглая, почти некрасивая женщина очень небольшого роста. Рядом с ее стулом стоял представительный господин во фраке.

— Это Патти, — указывал дядя Петра на ди-

ву, — а это ейный муж... По-русски ничего не понимают. А поправее-то господин Николини...

Из-за декоративного куста роз мы с Пепкой могли любоваться всей зрительной залой. Да, вот он, этот весь Петербург, те избранники, которые наслаждаются всеми благами жизни. Я посмотрел на Пепку, — у него было самое мрачное выражение, губы стиснуты, брови нахмурены. Для меня было ясно, о чем он думал: мы должны завоевать этот весь Петербург и прорваться в этот круг избранников и баловней судьбы. Я почему-то припомнил старика фельдшера, жужжавшего мухой, бойкого провизора, нашу «академию», «Федосьины покровы», наших новых знакомых девиц, — все это было так мизерно, жалко, ничтожно... В душе шевельнулось нехорошее завистливое чувство, — это была та ржавчина, которая въедается в молодое сердце...

Глава 12

Ввиду надвигавшихся экзаменов мне приходилось серьезно подумать о средствах, чтобы обеспечить себе свободных месяца два. Я ухватился за совет Фрея, хотя при этом приходилось вступить в некоторую сделку с самим собой, даже почти изменить себе, то есть изменить роману. Вместо идейной вещи приходилось писать на заказ, писать из-за куска хлеба. Чтобы успокоить себя до некоторой степени, я закончил вторую часть романа и в этом виде снес рукопись в редакцию одного «толстого» журнала. Нужно сознаться, что я испытывал сильное волнение, отдавая свое детище на нелицеприятный суд редакции. Это совершенно особенное чувство: ведь ничего дурного нет в том, что человек сидит и пишет роман, ничего нет дурного и в том, что он может написать неудачную вещь, — от неудач не гарантированы и опытные писатели, — и все-таки являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малодушия. Я скрыл от Пепки свой решительный шаг и мучился в одиночку. Что-то будет?.. Вообще нет ничего

тяжелее и мучительнее ожидания, а тут приходилось ждать целый месяц, — редакция была завалена рукописями.

«Э, все равно! — храбрился я про себя. — Не боги горшки обжигают...»

Сделав один решительный шаг, я сейчас же отважился на другой и засел писать рассказ по рецепту Фрея.

— Вот что, молодой человек, — советовал полковник, интересовавшийся моей работой, — я давно болтаюсь около литературы и выработал свою мерку для каждой новой вещи. Возьмите страницу и сосчитайте сколько раз встречаются слова «был» и «который». Ведь в языке — весь автор, а эти два словечка рельефно показывают, какой запас слов в распоряжении данного автора. Языку, конечно, нельзя выучиться, но нужно относиться к нему с крайней осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсменов называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовного происшествия, я приступил к работе. Пепко опять пропадал, и я работал на свободе. Через три дня рукопись была готова, и я ее

понес в указанный Фреем маленький еженедельный журнальчик. Редакция помещалась на Невском, в пятом этаже. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, очень подержаный и забитый. Помещение редакции тоже было скромное и какое-то унылое.

— Зайдите через недельку, — проговорил старец каким-то затхлым голосом.

Еще ожидание... Впрочем, терпеть зараз всегда легче, и неделя прошла быстрее, чем я ожидал. Прихожу за ответом. Старец узнал меня, пригласил сесть и сказал:

— Иван Иваныч хотел переговорить с вами.

Иван Иваныч был сам редактор, и у меня екнуло сердце, как у рыбака, когда крупная рыба пошевелит поплавок. Через минуту в редакцию вошел высокий, полный господин лет пятидесяти. Он смерял меня с ног до головы, обратил особое внимание на мои высокие сапоги и проговорил:

— Это ваш рассказец?

— Да, мой...

— Первая вещь, если не ошибаюсь?

— Да...

— Так-с...

Он взял со стола рукопись, как-то презрительно взвесил ее на руке и проговорил:

— У меня материалу, батенька, на три года вперед... Да. Недавно мне одна барыня принесла повестушку... Повестушка-то так себе, а вот название ядовитое: «Поцелуй Иуды». Как это вам нравится? Хе-хе... Вот так барыня!

Взвесив еще раз мое произведение, он проговорил устало-равнодушным тоном:

— Ваша вещица... гм... ничего, уйдет на затычку; какие ваши условия?

— Право, не знаю... Как хотите.

Моя беззащитность, видимо, тронула принципала, и он решил:

— Тридцать рублей за печатный лист...

— Хорошо.

У меня колесом вертелась в голове роковая фраза: «на затычку»; я чувствовал, что начинаю краснеть, и поэтому поспешил откланяться.

— Послушайте, господин Попов, — остановил меня редактор. — Дело к празднику идет, вы, наверно, нуждаетесь в деньгах, и я могу вам заплатить вперед... Петр Васильич, под-

считайте.

Ветхозаветный старец быстро принялся считать строки и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

— Вы студент? Так-с... — занимал меня Иван Иваныч. — Что же, хорошее дело... У меня был один товарищ, вот такой же бедняк, как и вы, а теперь на своей паре серых ездит. Кто знает, вот сейчас вы в высоких сапогах ходите, а может быть...

— Тридцать рублей-с, — прервал старец готовившееся предсказание. — Ровно-с печатный лист...

— Выдайте деньги молодому человеку... Да, так своя пара серых, а был беден, как Иов. Бывает...

Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литературный гонорар, — я даже простил Ивану Иванычу его «на затычку». Дело происходило за три дня до пасхи, когда весь Петербург охвачен радостной тревогой. Окна всех магазинов декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спешит с разными свертками и коробками, в

самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существование. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много прошло времени с этого решительного момента, через мои руки прошло немало денег, но никогда они не были мне так дороги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая ласточка не делает весны, — это глубоко несправедливо...

С деньгами я отправился прямо в портерную, где и сообщил «академии» о неожиданно свалившемся счастье.

— Удивительно, как это расступился Иван Иваныч, — заметил сдержанно Фрей. — Говоря между нами, он порядочная собачья жила... А впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.

В качестве счастливчика, которому покровительствовала сама судьба, я должен был выставить «академии» целую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодарностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышав-

ший верхним чутьем, где пьют.

— Alea jacta est,[100] — проговорил он. — Посвящается раб божий Василий во псаломщика от литературы… Дай бог нашему теляти волка поймати. А впрочем, не в этом дело, юноша… Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Одним словом — ура!..

Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли именинника, потому что другие сидели без работы; это было черной точкой на моем литературном горизонте.

Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходилось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже работал. Он написал для пробы два романса и тоже получил «мзду», так что наши дела были в отличном положении.

— Продажный поэт… — с горечью карал самого себя Пепко. — Да, продажа священного вдохновения по мелочам… Э, все равно!..

В разгар этой работы истек, наконец, срок моего ожидания ответа «толстой» редакции. Отправился я туда с замирающим сердцем. До некоторой степени все было поставлено на

карту. В своем роде «быть или не быть»... В редакции «толстого» журнала происходил прием, и мне пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худенький подвижный старичок с необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но меня он принял очень любезно.

— Читал, читал ваш роман... да, — заговорил он, суетливо роняя слова. — Трудно сказать что-нибудь сейчас... да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и рассмотрим окончательно.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение...

— Мое мнение? У вас слишком много описаний... Да, слишком много. Это наша русская манера... Пишите сценами, как делают французы. Мы должны у них учиться... Да, учиться... И чтобы не было этих предварительных вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще главное достоинство каждого произведения — его краткость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права отнимать у него время напрасно.

Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес рукопись в другой «толстый» журнал, пользовавшийся репутацией необыкновенной солидности. Через две недели его редактор говорил мне:

— Главный недостаток вашего романа в том, что слишком много сцен и мало описаний...

Глава 13

— «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, — декламировал Пепко, выглядывая в форточку, — и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса»... Есть! «Вон даль голубая видна», то есть, в переводе на прозу, забор. А вообще — тьфу!.. А я все-таки испытываю некоторое томление натуры... Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатых, имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, черт возьми!..

По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действительности переживал тревожное состояние, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам о далекой

родине с особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. «Федосьины покровы» казались теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели нашу комнату, которая казалась казематом. Все казалось немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие просиживать дни и ночи за лекциями.

— Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воздухом, — заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно хотел выстрелить. — Да, будем дышать, и все тут. Судьба нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как надышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.

— Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..

— Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. Закатим прямо на острова... Вообще будем вести себя, как прилично порядочным молодым людям. Теперь самое модное место — pointe[101] на Елагином; ну, туда и отправимся посмотреть, как будет садиться наше солнце, ибо сегодня оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы за-

работаем собственными ногами наш закат... Кстати, у тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? Ну, наплевать... Я где-то читал в газетине, что теперь мода совершать прогулки пешком; значит, будем жить по последней моде. У меня есть священный пятачок, который я сберегу на бутылку квасу... Все порядочные люди пьют изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будем отдуваться квасом принципиально. У меня в каждом деле принцип на первом месте...

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щегольских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбиваются из сил извозчичьи лошади, — все движется, живет и торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с другими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства для ее достижения в данном случае имели совершенно условное значение. Пепко принял безза-

ботный вид гуляющего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, приобретенной в табачном магазине в минуту безумной роскоши.

— Я дышу, следовательно — я существую, — говорил он, когда мы шагали по Крестовскому острову. — Ах, как хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую прогулку. Положим себе за правило...

— Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, Пепко.

— К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стеснять собственную свободу, когда и без того до усов всякой неволи? Я хочу быть вольным, как птица...

В доказательство этой последней мысли Пепко галантно раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими полулежа в шикарном «ланде». Они даже не повернули головы в нашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.

— Впрочем, они имеют полное право меня презирать и не отвечать на мой поклон, — ре-

зонировал он, — гусь свинье не товарищ... да. Посмотрим, что они скажут, когда я сам поеду в собственном ландо.

— А когда это будет?

— Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не женится и никогда ничего не будет иметь.

— Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?

— Как для чего? А вот показать им всем, что и я могу ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да... Вот я теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю этакую регалию... «Эх, птица тройка! Неситесь, кони»... Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не решил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или этакого английского черта купить.

Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопроса. Его кровные рысаки носились в области юношеской болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой обыкновенной извозчичьей кляче.

Мы долго любовались красавицей Невой.

Как она здесь хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стрелой неслись финляндские пароходики, чертили воду десятки лодок, — одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли еще голые, и только пушились одни ивняки, да кой-где высыпала ярко-зеленая весенняя травка. В воздухе чувствовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в лицо теплый весенний ветерок.

На point'е набралось уже столько публики, что мы не нашли свободного места на скамейках. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились в лучшем обществе, которое видели зимой в итальянской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный Петербург был здесь налицо, рядом с нами и вместе с тем как он был неизмеримо далек от нас! «Наше солнце» уже близилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точно невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь

манила и звала, навевая приятную тоску — это был, так сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем случае получался контраст с нашим забором, ревниво заслонявшим от наших глаз все перспективы и даже нижнюю часть неба. А как красиво летели по заливу маленькие яхточки, окрыленные косыми парусами — настоящие птицы... С моря потягивало свежим воздухом, где-то в камышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на самом горизонте тянулись дымки невидимых морских пароходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими шпицами и колокольнями...

Меня удивило, что Пепко отнёсся совершенно безучастно к закату «нашего солнца», а занят был главным образом рассмотрением пуантовой «зоологии». По крепко сжатым губам и нахмуренным бровям было видно, что он серьезно думал о чем-то.

— Да, они живут... — как-то вздохнул он, точно просыпаясь. — И стоит жить, черт возьми!.. Жизнь хороша, если брать ее, а не поддаваться ей... И знаешь, для чего стоит жить?

— Для истины, добра и красоты!

— Э, вздор, старая эстетика! Вот для чего стоит жить, — проговорил он, указывая на красивую даму, полулежавшую в коляске. — Для такой женщины стоит жить... Ведь это совсем другая зоологическая разновидность, особенно по сравнению с теми дамами, с которыми нам приходится иметь дело. Это особенный мир, где на первом месте стоит кровь и порода. Сравни извозчичью клячу и кровного рысака — так и тут.

— Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкерский аристократизм, цель которого — любовь аристократки.

— Нет, не то... Положим, я простой дворняга, но это мне не мешает чувствовать красоту вот таких гордых, холодных и красиво-недоступных патрицианок. Ведь это высшая форма полового подбора...

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно... Ведь это только кажется, что у них такие же руки и ноги, такие же глаза и носы, такие же слова и мысли, как и у нас с тобой. Нет, я буду жить только для того, чтобы такие глаза смотрели на меня, чтобы такие руки обнимали меня, чтобы та-

кие ножки бежали ко мне навстречу. Я не могу всего высказать и мог бы выразить свое настроение только музыкой.

Пепко даже поник грустно головой, а потом прибавил совершенно другим тоном:

— А знаешь, как образовалась эта высшая порода людей? Я об этом думал, когда смотрел со сцены итальянского театра на «весь Петербург», вызывавший Патти... Сколько нужно чужих слез, чтобы вот такая патрицианка выехала в собственном «ланде», на кровных рысаках. Зло, как ассигнация, потеряло всякую личную окраску, а является только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю все это и ненавижу себя, что меня чаруют вот эти патрицианки... Я их люблю, хотя и издали. Я люблю себя в них...

— Вот что, Пепко, пойдем-ка домой, пока ты окончательно не зарапортовался. Я что-то плохо начал понимать тебя...

Пепко только вздохнул и уныло поплелся за мной. Солнце уже давно закатилось, патрицианки разъехались по своим палаццо, а на Неве замигали красные огоньки сновавших там и сям пароходов и яликов. Мягкий весен-

ний сумрак окутывал голые деревья; где-то шарахнулся сонный грач; неприятно-резкий свист парохода разрезал засыпавший воздух, точно удар бича. Мы шли долго молча, и я думал о том, какой странный человек мой друг Пепко, это олицетворение всевозможных противоречий. Последним номером в скале этих странностей явился апофеоз патрицианства и стремление к нему. Положим, что все это были одни разговоры, но, проверяя себя, я не мог скрыть, что Пепко до известной степени прав. Я думал о наших знакомых дамах, и это сравнение было не в их пользу. С другой стороны, меня возмущала откровенность Пепки, и я спросил, чтобы поязвить его:

— Кстати, что твоя любовь?

— В каком смысле любовь? В прямом или переносном?

— И в том и в другом...

Пепко махнул рукой и засмеялся.

— Это была просто глупость, — проговорил он. — Вернее сказать, фальсификация...

— Однако ты говорил, что эта девушка...

— То есть это она меня уверяла, а в действительности ничего не оказалось. Я поста-

вил уже точку...

— Кажется, даже двоеточие?

— А, черт!.. Терпеть не могу баб, которые прилипают, как пластырь. «Ах, ох, я навеки твоя»... Мне достаточно подметить эту черту, чтобы такая женщина опротивела навеки. Разве таких женщин можно любить? Женщина должна быть горда своей хорошей женской гордостью. У таких женщин каждую ласку нужно завоевывать и поэтому таких только женщин и стоит любить.

— Да, все это патрицианская философия, а нужно спросить, что чувствует та девушка, которая, может быть, любит тебя...

— Послушай, что ты привязался ко мне? Это, понимаешь, скучно... Ты идеализируешь женщин, а я — простой человек и на вещи смотрю просто. Что такое — любить?.. Если действительно человек любит, то для любимого человека готов пожертвовать всем и прежде всего своей личностью, то есть в данном случае во имя любви откажется от собственного чувства, если оно не получает ответа.

— Это софизм и очень даже некрасивый

софизм...

— Отстань!

В наших голосах послышалось раздражение, и мы остальную часть пути сделали молча, позабыв даже о бутылке квасу, которою должен был завершиться наш пикник. Когда мы подходили уже к своему Симеониевскому мосту, Пепко неожиданно заявил:

— А мы после экзаменов переезжаем на дачу...

— Это очень интересно, но как и куда?

— Э, вздор!.. Свет не клином сошелся.

У меня оставалось легкое раздражение по отношению к Пепке, и поэтому мы опять замолчали. Это же молчание мы принесли в свою конуру, молча разделись и молча улеглись спать.

— Какое прекрасное изобретение сон, говорил Санхо Панчо! — сонным голосом бормотал Пепко, поворачиваясь лицом к стене.

У меня вдруг мелькнула мысль, которая разогнала охватывавшую дремоту.

— Пепко, ты спишь?

— Мм... а?..

— А я не поеду с тобой на дачу, потому что

это... это замаскированное бегство с твоей стороны. Я отлично понимаю... Ты хочешь скрыться на лето от этой несчастной девушки и рассчитываешь на время, которое поправит все.

Пепко тяжело повернулся на своей кровати и проворчал:

— Представь себе, милый мой мальчик, что ты угадал... Покойной ночи, милейший!..

Глава 14

Я мечтал летом пробраться в свои степи; это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствие: не было денег на поездку. Таким образом, мне пришлось провести два ужасных лета в Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. Но — увы! — и этой мечте не суждено было сбыться... Как раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, в котором было так много хороших советов и не было денег на поездку. Деньги, проклятые деньги! они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых людей, — одним словом, все хорошее и самое до-

рогое. Я очень любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но строгий человек, смотревший на жизнь серьезно. «Перебейся как-нибудь лето в Питере, — писал он, — конечно, это тебе покажется скучным, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и остаются в своей глуши. Пользуйся случаем... Кончишь курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвестно, удастся ли тебе в другой раз видеть знаменитую столицу». Милый старик, как он мило ошибался... Чудеса Петербурга — верх наивности. С какой радостью я послал бы к черту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую родину.

— Ну, что пишет старик? — угрюмо спрашивал Пепко, не поднимая головы от своих лекций.

— Ничего особенного... Кстати, ты как-то говорил о даче. Если бы...

Пепко поднял голову, посмотрел на меня и проговорил с решительным видом:

— Дача должна быть... Ведь живут же другие люди на дачах, следовательно, и мы долж-

ны жить.

— Все это — отвлеченные рассуждения, Пепко.

— Рассуждения? Ты не знаешь простой истины, что человеку только стоит захотеть, и он все может сделать. Решительно все... Вот тебе пример: человека посадят в тюрьму, запрут железной дверью, поставят к двери часового. Стены толстые, каменные, окошко маленькое, с железной решеткой, пол каменный, — одним словом, каменный мешок. И все-таки люди уходят из тюрьмы... А почему? Потому что умеют сосредоточить свое внимание на одном пункте. Сидит человек год, два, три и все думает об одном, и уйдет в конце концов, потому что у него явится такая комбинация, которая не снилась во сне ни архитектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, стерегущему ее, ни одному черту на свете. Кстати, в этом вся психология творчества, — именно, чтобы уметь сосредоточить свое внимание на одной точке до того, чтобы вызвать живые образы... Да, так это я так, a part.[102] А дело в том, что если арестанты могут убегать из тюрем, то сколь проще и

естественнее найти себе дачу и устроиться на ней, подобно другим дачным человекам. Я сказал: дача будет, она должна быть...

Милый Пепко, как он иногда бывал остроумен, сам не замечая этого. В эти моменты какого-то душевного просветления я так любил его, и мне даже казалось, что он очень красив и что женщины должны его любить. Сколько в нем захватывающей энергии, усыпанной блестками неподдельного остроумия. Во всяком случае, это был незаурядный человек, хотя и с большими поправками. Много было лишнего, многого недоставало, а в конце концов все-таки настоящий живой человек, каких немного.

Да здравствует весна, любовь и... и Третье Парголово!.. Недавно я был там, почти через двадцать лет, и не узнал когда-то знакомых мест. Со мной вместе шли мои сорок лет, и через их дымку я видел только старые лица, старых знакомых, давно минувшие события, сцены, мысли и чувства. Да, я нес с собой воспоминания и чувствовал себя пришлецом из другого мира. И никому-никому не было дела до моих старческих воспоминаний... Я почув-

ствовал себя чужим, и сорокалетнее сердце сжалось от тоски, какую нагоняет солнечный закат. Да, они уже не вернутся, эти молодые грезы, иллюзии, надежды, улыбки, взгляды молодых глаз, беззаботный смех, молодые лица... Где они? Пепко прав, что жизнь — ужасная вещь, и, бродя по нынешнему Третьему Парголову, я больше всего думал о нем, моем alter ego, точно и сам я умер, а смеется, надеется, думает, любит и ненавидит кто-то другой... Да, эти другие уже пришли на смену, я видел их и в их глазах прочитал собственный смертный приговор. И они правы, потому что жизнь принадлежит им, хотя и течет по руслу, вырытому покойниками. Какая это ужасная мысль, что мир управляется именно покойниками, которые заставляют нас жить определенным образом, оставляют нам свои правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго мертвых... Вон, например, дачная девушка в летнем светлом платье; как она счастлива своими семнадцатью годами, румянцем, блеском глаз, счастлива мыслью, что живет только она одна, а дру-

гие существуют только так, для декорации; счастлива, наконец, тем, что ей еще далеко до психологии старых пней и сломанных бурей деревьев. Милые девушки, вы убеждены, что вам будет всегда семнадцать лет, потому что вы еще не испытали долгих-долгих бессонных ночей, когда к бессонному изголовью сходятся призраки прошлого и когда начинают точить заживо «господа черви»...

Светлый весенний майский день. Петербургская природа долго и добросовестно делала усилие, чтобы показаться весенней. В результате получилась улыбка больного, которому переменяют лекарство, а с переменой дают и некоторую надежду. Но эта немного больная петербургская весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза дополняли недочеты действительности некоторой игрой воображения. С каким решительным видом ходил Пепко по Финляндскому вокзалу, как развязно заглядывал он на молоденьких женщин и, наконец, резюмировал свое настроение:

— Знаешь что, мне так хочется жить, что даже совестно... Я бы любил вот всех этих

женщин, обнял бы всех железнодорожных чухонцев и, наконец, выпил и съел бы весь буфет первого класса, то есть что там можно выпить и съесть. Во мне какая-то безумная алчность проглотить зараз всю огромность жизни...

Я удивляюсь одному, как это раньше мне не пришла мысль о даче. Просидеть два лета в Петербурге, слоняясь по паркам и островам, когда одна такая поездка уже чего стоит. Мне нравился и вокзал, и суетившаяся на нем публика, и чистенькие чухонские вагоны. Поезд летит, мелькают какие-то огороды, вправо остается возвышенность Лесного, Поклонная гора, покрытая сосновым лесом, а влево ровнем-гладнем стелется к «синему морю» проклятое богом чухонское болото. Вот и первые дачи с своим убогим кокетством, чахлыми садиками и скромным желанием казаться безмятежным приютом легкого дачного счастья. А мне они нравятся, вот эти дачи, кое-как слепленные из барочного леса и напоминающие собой скворечницы, как дачники напоминают скворцов, а больше всех такими скворцами являемся мы с Пепкой.

— Вот и девятая верста, — ворчит Пепко, когда мы остановились на Удельной. — Милости просим, пожалуйте... «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд,[103] у которого украли маймисты сивую лошадь. Пожалуйте»... Гм... Все там будем, братику, и это только вопрос времени.

Трагическое настроение, накатившее на Пепку, сейчас же сменилось удивительным легкомыслием. Он надул грудь, приосанился, закрутил усы, которые в «академии» назывались лучистой теплотой, и даже толкнул меня локтем. По «сумасшедшей» платформе проходила очень красивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. Пепко млел и изнывал при виде каждой «рельефной» дамы, а тут с ним сделался чуть не столбняк.

— Ах, какая красавица!.. — шептал он, набирая воздуха. — Я сейчас положу к ее ножкам свое многогрешное сердце. Не поедем дальше... Ей-богу!.. Отправимся в больницу и заявим, что мы дорогой сошли с ума. Вот тебе и даровая дача... Ведь это одна из тех идей, которые имеют полное римское право назы-

ваться счастливыми. Ах, какая дама, какая дама... Я, кажется, съел бы ее вместе со шляпкой и зонтиком! А муж у нее наверно этакий дохленький петербургский мерзавец... Знаешь, есть самый скверный сорт мерзавцев: такие чистенькие, приличненькие, с тонким ароматцем дорогих заграничных духов, с перстеньками на ручке. Вот у нее такой муж... Ах, какая женщина!..

Пепко всегда жил какими-то взрывами, и мне пришлось серьезно его удерживать, чтобы, чего доброго, действительно не остался в Удельной.

— Ты — несчастная проза, а я наполняю весь мир своими тремя буквами а, о и е! — резюмировал Пепко эту сцену. — А на даму и на ее собственного мерзавца наплевать... Мы еще не таких найдем.

Станция Третьего Парголова имела довольно мизерный вид, как и сейчас. Мы вышли с особенной торопливостью, как люди, достигшие цели или по меньшей мере отчего дома. Пепко сделал предварительную обсервацию дачного места и одобрительно промычал. Здесь уже высились круглые глинистые

холмы с глубокими промоинами, а по ним так приветливо лепились крестьянские избенки и дачки-скворечницы. Кое-где зелеными пятнами расплывались редкие садики. Вообще недурно для первого раза, а главное, целых сорок сажен над уровнем «синего моря».

— Сие благопотребно, — решил Пепко, шагая по узенькой тропинке, взбиравшейся желтой лентой по дну одной из промоин. — Возвысимся малую толику...

Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, — именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. Это была феноменальная дешевизна даже для того времени, и мы торжествовали, не смея выдать даже своего торжества перед хозяином дачи, здоровенным мужиком.

— Вот тебе задаток... — заявил Пепко, отдавая три рубля с небрежностью настоящего барина.

— Покорно благодарим, господин хороший.

Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было и думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спасаться от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали. Впечатление испортила только жена хозяина, которая догнала нас на улице и принялась жаловаться:

— Зачем вы отдали деньги Алексею? Пропьет их севодни же... А у меня двое ребятишек... Цельное лето ведь я должна с ними биться в хлеву.

— Ты права, женщина, и вот тебе в утешение еще рупь...

Это была наша первая встреча с типичным дачным мужиком.

— У меня такое желание, точно взял бы да что-нибудь изломал, — говорил Пепко, когда

мы направились в Шуваловский парк, чтобы провести остаток ins Grune.[104] — А все я... Видишь, как важна определенная идея, в данном случае идея дачи. Виктория!.. За четыре месяца мы заплатили бы Федосье сорок рублей, а тут всего десять. Ничего больше не остается, как пропить остальные деньги. У меня целых десять франков... В сущности говоря, это до того безумно огромная сумма, что ее можно привести в норму только безумным кутежом.

— А тебе не жаль Федосьи, у которой наша комната останется пустой на все лето?

— Что же, мы должны задыхаться для ее удовольствия? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются необыкновенной живучестью, и я подозреваю, что они появляются на свет таинственным самозарождением, как разная плесень и прочая дрянь.

Мы направились в парк через Второе Парголово, имевшее уже тогда дачный вид. Там и сям красовались настоящие дачи, и мы имели удовольствие любоваться настоящими живыми дачниками, копавшими землю под клумбы, что-то тащившими и вообще усилен-

но приготовлявшимися к встрече настоящего лета. Еще раз, хорошо жить на белом свете если не богачам, то просто людям, которые завтра не рискуют умереть с голода.

— Буржуа, филистеры, вообще сквалыги! — ругался Пепко, почувствовавший себя радикалом благодаря нанятой лачуге. — Счастье жизни не в какой-нибудь дурацкой даче, а в моем я, в моем самосознании, в моем внутреннем мире...

Шуваловский парк привел нас в немой восторг. Настоящие деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее небо, наконец... Мы обошли все аллеи, полюбовались видом с Парнаса, отыскали несколько совсем глухих, нетронутых уголков и еще раз пришли в восторг. Над нашими головами ласково и строго шумели ели и сосны, мы могли ходить по зеленой траве, и невольно являлось то невинное чувство, которое заставляет выпущенного в поле теленка брыкаться.

— Мне этот парк напоминает XVIII век, — фантазировал Пепко. — Да... Если бы сюда пустить с полдюжины хотя подержанных маркизов да, черт возьми, штучек десять маркиз

и столько же пастушек… Го-го! Тсс!..

Пепко издал предупредительное шипенье. Из боковой аллеи прямо на нас вывернулась влюбленная парочка. Она заметно смутилась и задержала ход, он явил пример мужества и повел свою даму прямо на нас: счастливые люди смелы. Пепко пропустил их, оглянулся и проговорил:

— Благословляю вас, mes enfants…[105]

Мы закончили наш первый дачный день в «остерии», как назвал Пепко маленький ресторанчик, приютившийся совсем в лесу. Безумный кутеж состоял из яичницы с ветчиной и шести бутылок пива. Подавала нам какая-то очень миловидная девушка в белом переднике, — она получила двойное название — доброй лесной феи и ундины. Последнее название было присвоено ей благодаря недалекому озеру.

— Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоровье!.. — галантно предлагал Пепко тост.

Миловидная девушка только улыбнулась, а с ней вместе улыбнулось и все остальное — и парк, и озеро, и даже наша лачуга в Третьем Парголове.

Глава 15

Переезд на дачу составлял дело одного дня. Два чемодана, две подушки, два одеяла, две лампы и гитара. Наши сборы закончились комическим эпизодом: когда Федосья узнала, что мы едем на дачу, то расхохоталась до слез.

— Ах, Агафон Павлыч, Агафон Павлыч, перестаньте вы добрых-то людей смешить! — повторяла она, хватаясь за бока. — Туда же, на дачу… ха-ха!..

— Да, на дачу, достоуважаемая…

— Курятник какой-нибудь наняли?

— А вот и не курятник… да-с.

— А мебель у вас где?.. Вы бы ломового наняли, дачники! Ха-ха.

Дело дошло без малого до драки, так что я должен был удерживать Пепку. Он впал в бешенство и наговорил Федосье дерзостей. Та, конечно, не осталась в долгу и «надерзила» в свою очередь.

— Если бы вы не были дамой… да, дамой, так я бы показал вам… да, показал! — задыхаясь, повторял Пепко.

— Туда же, аника-воин, распустил перья-то! Знаю я вас, дачников...

На мою долю выпала самая неблагодарная роль доброго гения, которую я и выполнил настолько добросовестно, что, наконец, Пепко и Федосья распрощались самым трогательным образом.

— Приезжайте к нам чай пить... — приглашал успокоившийся Пепко. — Вот и увидите, какие дачи бывают.

— И то как-нибудь соберусь, Агафон Павлыч, — с изысканной вежливостью отвечала Федосья. — Конешно, мне обидно, што вам моя квартира не угодила... Уж, кажется, я ли не старалась! Ну, да бог с вами.

— Приезжайте непременно...

Экзамены были сданы, и мы переезжали на дачу с легким сердцем людей, исполнивших свой долг. Скромные размеры нашего движимого имущества произвели невыгодное впечатление на нашего нового хозяина, который, видимо, усомнился в нашей принадлежности к касте господ. Впрочем, он успокоился, когда узнал, что мы «скубенты». Во всяком случае, мы потеряли в его глазах по

крайней мере процентов на двадцать. Другое неприятное открытие для нас заключалось в том, что под самыми окнами у нас оказался городовой.

— Вот тебе и идиллия... — ворчал Пепко. — Дача с городовым... О, проклятая цивилизация, ты меня преследуешь даже на лоне природы!.. Я жажду невинных и чистых восторгов, а тут вдруг городовой.

Нанимая дачу, мы совсем не заметили этого блюстителя порядка, а теперь он будет торчать перед глазами целые дни. Впрочем, городовой оказался очень милым малым, и Пепко, проходя мимо, раскланивался с «верным стражем отечества».

Устройство на даче заняло у нас ровно час времени.

— Теперь остается только выработать программу жизни на лето, — говорил Пепко, когда все кончилось. — Нельзя же без программы... Нужно провести определенную идею и решить коренной вопрос, чему отдать преимущество: телу или духу.

— Не лучше ли без программы, Пепко? У нас уже был опыт...

— Составим комиссию, а так как tres faciunt collegium,[106] то пригласим в председатели верного стража отечества. Он, несомненно, предпочтет дух…

— Это еще вопрос, Пепко. Сначала отдохнем с недельку так, а потом увидим, что и как.

Первые минуты дачной свободы даже стесняли нас. Определенный городской хомут остался там, далеко, а сейчас нужно было делать что-то новое. Собака, сорвавшаяся с цепи, переживает именно такой нерешительный момент и некоторое время не доверяет собственной свободе.

— Что будем делать? — спрашивал Пепко, отвечая на мой немой вопрос. — А первым делом отправимся гулять… Все порядочные дачники гуляют. Надо и людей посмотреть и себя показать, черт возьми!..

Когда мы вышли из своей «дачи», нас встретил какой-то длинноносый мужик с белыми волосами.

— С приездом, господа хорошие…

— Спасибо.

Мужик взмахнул волосами, подмигнул и

довольно нахально заявил:

— Не будет ли на чаек с вашей милости?

— За что на чаек?

— А как же, суседи будем... Я вот тут рядом сейчас живу. У меня третий год Иван Павлыч квартирует... Вот господин так господин. Ах, какой господин... Прямо говорит: «Васька, можешь ты мне соответствовать?» Завсегда могу, Иван Павлыч... Уж Васька потрафит, Васька все может сруководствовать. Не будет ли на чаек с вашей милости?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрился и выдал дачному оголтелому мужику целым двугривенный. Васька зажал монету в кулаке и помчался через дорогу прямо в кабак. Он был в одной рубахе и портах, без шапки и сапог. Бывший свидетелем этой сцены городовой неодобрительно покачал только головой и передернул плечи. Этот двугривенный послужил впоследствии источником многих неприятностей, потому что Васька начал просто одолевать нас. Одним словом, Пепко допустил бестактность.

Наступил уже вечер, мягкий и теплый. Откуда-то так и несло ароматом распускавшей-

ся зелени и свежей травы. Казавшиеся днем пустыми, теперь все дачи оживились. Этому способствовали вернувшиеся из города со службы дачные «отцы». На импровизированных террасах, в которые превращались крыльца деревенских изб, расположились оживленные группы. Главным действующим лицом являлся самовар. Желавшие насладиться природой, en plein air[107] пили чай прямо в садиках. Вся жизнь была на виду, и это придавало дачному кочевью совершенно особенный колорит. Должен сознаться, что эта мирная картина произвела на меня очень сильное впечатление. Чем-то таким добродушным, домашним веяло от этой дачной простоты. Петербургский чиновник превращался в дачника, то есть в совершенно другое существо, точно он вместе с вицмундиром снимал с себя и петербургскую деловитость. На петербургские дачи вообще много ходит совершенно напрасных нареканий. Право, они не так уж дурны, как могут показаться на первый раз. Я говорю специально о маленьких дачах, в которых находят себе летний приют небогатые люди. Да, великолепие не

особенно велико, — под носом пыльное шоссе, садики еще все в будущем, — но, право, недурно отдохнуть вот именно в такой даче, особенно у кого есть маленькие дети. Там и сям светлыми пятнами выделялись платья молоденьких дачниц. Такие же платья гуляли мимо дач, и Пепко уже несколько раз толкнул меня локтем, отмечая этим движением смазливые личики. Попались две-три совсем хорошеньких.

— Что же, жить еще можно, — говорил Пепко, закручивая ус. — Заметил блондинку в барежевом платье? Ничего, невредная девица...

Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала Пепку, являясь его больным местом. Мне начинало не нравиться это исключительное направление Пепкиных помыслов, и я не поддерживал его восторгов.

Мы сделали самый подробный обзор всего Парголова и имели случай видеть целый ряд сцен дачной жизни. В нескольких местах винтили, на одной даче слышались звуки рояля и доносился певший женский голос, на самом краю составилась партия в рюхи, при-

чем играли гимназисты, два интендантских чиновника и дьякон. У Пепки чесались руки принять участие в последнем невинном удовольствии, но он не решился быть навязчивым.

— Что же, отлично, — говорил Пепко. — А главное, все так просто: барышня распевает чувствительные романсы, папахен винтит, мутерхен пьет чай, а дьякон играет в рюхи.

Движимые любопытством, мы даже зашли в мелочную лавочку и купили папирос. Пепко познакомился с лавочником и узнал, что поет дочь какого-то немца-аптекаря.

— Ну, я немок не люблю, ваше степенство, хотя и среди них попадаются аппетитные шмандкухены...

Когда мы возвращались домой, Пепко сделал неприятное открытие.

— Отлично было бы теперь чайку напиться, братику, только вот самовара у нас с тобой нет... Да и вообще, где мы будем утолять голод и жажду?

Вопрос был тем серьезнее, что раньше мы о нем как-то не подумали. Все наше хозяйство заключалось в гитаре.

— Постой, эврика... — думал вслух Пепко. — Видел давеча вывеску: ресторан «Роза»? Очевидно, сама судьба позаботилась о нас... Идем. Я жажду...

Ресторан «Роза» занимал место в самом центре. При ресторане был недурной садик с отдельными деревянными будочками. Даже был бильярд и порядочная общая зала с эстрадой. Вообще полное трактирное великолепие, подкрашенное дачной обстановкой. В садике пахло акациями и распускавшимися сиренями.

— Бутылку пива!.. — командовал Пепко тоном трактирного завсегдатая.

«Человек» молча сделал налево кругом и, взмахнув салфеткой, удалился. Существование этого дачного ресторана навело меня на грустные размышления. Опять трактир и трактирная жизнь... Почему-то мне сделалось грустно. Зато Пепко торжествовал. Он чувствовал себя, как рыба в воде. Выпив бутылку пива, он впал в блаженное состояние.

— А право, не дурно, — говорил Пепко, — и садик, и фонарики, и акации...

Эти мысли вслух были прерваны появле-

нием двух особ. Это были женщины на пути к подозрению. Они появились точно из-под земли. Подведенные глаза, увядшие лица, убогая роскошь нарядов говорили в их пользу. Пепко взглянул вопросительно на меня и издал «неопределенный звук», как говорится в излюбленных им женских романах.

— Що се таке? — спросил он почему-то на хохлацком жаргоне. — Во всяком случае это интересно...

Становилось уже темно, и сад осветился разноцветными фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая на нас никакого внимания. Пепко прошел по аллее, чтобы встретиться с ними, — опять никакого внимания.

— Что они тут делают? Что они такое сами по себе, наконец?.. Меня этот женский вопрос интересует...

Мы отправились в залу и там встретили еще несколько таких же подозрительных дам, разгуливавших парочками. У одного столика сидел — вернее, лежал — какой-то подозрительный мужчина. Он уронил голову на стол и спал в самой неудобной позе.

— Ба! да ведь это Карлуша, Карл Иваныч Гамм, — изумился Пепко, разводя руками. — Вот так штука! А это — его хор, другими словами — олицетворение моих кормилиц букв: а, о и е.

Пепко без церемонии растолкал спавшего хормейстера, который с трудом поднял отяжелевшую голову и долго не мог прийти в себя.

— Румочку водки... — проговорил он, наконец.

— Что вы тут делаете, мейн герр?

— Доннер веттер, я ничего не делай... Доннер веттер, всего одна румочка водки, герр Поп.

— А зельтерской хотите, Карл Иваныч?

— Швамдрюбер... Я честный человек и не хочу зельтер.

Видимо, Карл Иваныч находился в последнем периоде жесточайшего запоя и ничего не мог понять, кроме своей «эйн румочки».

— Милейший немец этот Карл Иваныч, — объяснял Пепко, оставив в покое хормейстера. — Только ужасно пьет... И талантливый человек при этом. Хор принадлежит его жене,

то есть даже не жене, а какому-то третьему подставному лицу. Черт их разберет... Кстати, я еще не слыхал, как исполняются на сцене мои сладкие звуки. Интересно во всяком случае... Одним словом, сюрприз. Вот тебе и дача и невинные забавы детства. Я могу про себя воскликнуть словами Карамзина: «Бедная Лиза, где твоя невинность»... Гм... да... вообще... Одним словом, свинство. Я это уже чувствую...

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка подтвердила последнюю мысль Пепки своей очаровательной улыбкой.

— Друг, я погибаю... — трагически прошептал Пепко, порываясь идти за ней. — О ты, которая цветка весеннего свежей и которой черных глаз глубина превратила меня в чернила... «Гафиз убит, а что его сгубило? Дитя, свой черный глаз бы ты спросила»... Я теперь в положении священной римской империи, которая мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала, падала и, наконец, совсем разрушилась. О, моя юность, о, мое неопытное сердце...

К моему удивлению, Карл Иваныч не доль-

ше как через час сидел за роялем и аккомпанировал своему хору. Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солисткой. Мы с Пепкой представляли собой «благородную публику». Показались в дверях залы две фуражки с красным околышем и скрылись. Очевидно, дачная публика стеснялась.

— Браво! — кричал Пепко, аплодируя хору. — Да, мы должны поощрять искусство... Человек, бутылку пива!

Последующие события нашего первого дачного дня были подернуты дымкой. За нашим столиком оказались и Карл Иваныч, и очаровательная солистка, и какой-то чахоточный бас.

— Меня зовут Мелюдэ, — рекомендовалась красавица.

Когда я проснулся на следующий день, на полу нашей дачи врастяжку спал Карл Иваныч Гамм. Пепко спал совсем одетый на лавке, подложив связку лекций вместо подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыдно, и гадко, и хотелось убежать от самого себя.

Через полчаса происходила такая трога-

тельная сцена:

— Эй ты, погибшее, но милое создание! — будил Пепко гостя. — Вставай, немец...

— Доннер веттер... румочку...

Когда Карл Иваныч сел, Пепко подошел к нему, присел на корточки и проговорил:

— Послушай, Карлуша, ты — одна добрая, хорошая, немецкая свинья, а я — просто русская свинья. Вместе мы составляем свинство.

Глава 16

В течение какой-нибудь недели мы совершенно «определились», как дачники. Мы уже приспособились к новым условиям существования и сделались нераздельной, живой, органической частью дачного целого. Когда мы с Пепкой гуляли, дачные барышни смотрели на нас с чувством собственности. «Наши тронулись», как говорил Пепко про других дачников. Благодаря некоторым вольностям дачного существования мы знали всю подноготную не только наших соседей, но и всех вообще: кто и где служит, сколько членов семьи, какой порядок жизни, даже какие добродетели и недостатки. Пепко завел послужной

список дачных девиц и выставлял им баллы в поведении.

— Интересно, что из этого выйдет к осени, — соображал он, делая в уме какие-то таинственные математические комбинации. — Аптекарской дочери я уже поставил четыре в поведении, потому что она на вокзале делала глазки тятенькину провизору... Не полагается это одной доброй дочери... Вот не знаю, как быть с одной жидовочкой... Общая мерка не годится, потому что нужно принять во внимание темперамент, расу и термометр Реомюра. Я заметил, что главное влияние на нее оказывает именно температура: при двенадцати градусах тепла она скромна, при пятнадцати градусах являются признаки смутного девичьего беспокойства, при восемнадцати она сама смотрит на мужчин. Интересно, что с ней будет при температуре в тридцать градусов? Я сильно опасаюсь, что она в июле бросится на шею первому чухонцу... Да, цифры безжалостны.

У нас быстро сформировались свои дачные привычки. Я, например, любил вставать очень рано и отправлялся гулять. Это был ин-

тересный момент. Все дачи еще спали. Исключение представляла дачная детвора, которую в это время кормили и поили мамки, бонны и няньки. Молодое дачное поколение пользовалось в эти часы неограниченной свободой действия и костюмов. Мамаши еще спали, а малые дети не превращались еще в жертвы нарядных детских костюмчиков. Эта трагическая метаморфоза происходила только часам к двенадцати, когда маленькие мученики и мученицы показывались во всеоружии белых передников, летних платьиц и дальнейших подробностей, каковые не полагалось пачкать, мять и рвать.

А как хорошо было ранним утром в парке, где так и обдавало застоявшимся смолистым ароматом и ночной свежестью. Обыкновенно, я по целым часам бродил по аллеям совершенно один и на свободе обдумывал свой бесконечный роман. Я не мог не удивляться, что дачники самое лучшее время дня просыпали самым бессовестным образом. Только раз я встретил Карла Иваныча, который наслаждался природой в одиночестве, как и я. Он находился в периоде выздоровления и поэто-

му выглядел философски-уныло.

— Как поживаете, Карл Иваныч?

— О благодарим к вам: очень карошо. А где герр Поп? Бессовестельник, просыпывает лючшую дню...

Я возвращался домой только к чаю, который устраивала мне старуха, мать Алексея. Мы пользовались хозяйским самоваром на условии «сколько положите». Пепко спал в сенях и просыпался только к десяти часам, поэтому мне приходилось наслаждаться одному. Я открывал окно и делался свидетелем все одной и той же сцены. Напротив нас была большая дача, населенная многочисленным семейством. В этот час утра, пока еще все спали, родоначальница немецкого гнезда, очень почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и садилась на скамью. Она делала это методически, с немецкой аккуратностью, и целые часы оставалась неподвижной, как статуя, наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе катились чухонские таратайки, мимо дач сновали булочники, разносчики, медленно проезжал от дачи к даче мясник, летели на всех парах в мелочную лавочку развяз-

ные дачные горничные и кухарки. Одним словом, дачная жизнь закипала. Вероятно, старухе немке был прописан свежий воздух, и она дышала самым добросовестным образом определенное количество времени, как было предписано. Это скромное занятие обыкновенно нарушалось появлением дачного мужика Васьки. Он вывертывался откуда-то из-за угла, выходил на шоссе, оглядывался и начинал монолог приблизительно в такой форме:

— Дачники... ххе!.. А наплевать, вот тебе и дачники!.. Выйдет какая-нибудь немецкая кикимора, оденет на себя банты да фанты и сидит идолом... тьфу!.. Вот взял бы да своими руками удавил... Сидела бы в городе, а туда же, на дачи тащится!

Васька принимал угрожающе-свирепый вид. Вероятно, с похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-нибудь поместить накипевшую пьяную злость, и Васька начинал травить немецкую бабушку. Отставив одну ногу вперед, Васька визгливым голосом неожиданно выкрикивал самое неприличное ругательство, от которого у бедной немки

встряхивались все бантики на безукоризненно белом чепце.

— Дачники... Да я вас всех распатроню! Зачем сюда наехали? Какие-такие особенные дела?..

Опять ругательство, и опять ленты немецкого чепца возмущаются. Ваську бесит то, что немка продолжает сидеть, не то что русская барыня, которая сейчас бы убежала и даже дверь за собой затворила бы на крючок. Ваське остается только выдерживать характер, и он начинает ругаться залпами, не обращаясь ни к кому, а так, в пространство, как лает пес. Крахмальный чепчик в такт этих залпов вздрагивает, как осиновый лист, и Ваську это еще больше злит.

Я два раза делал попытку прекратить это безобразие, но добился как раз обратных результатов. Васька только ждал реплики и обрушил все негодование на меня.

— Вот я ужо доберусь до вас, скубенты... Произведу в лучшем виде. Вот как расчешу... да.

Нашим спасителем являлся городовой, который выходил на свой пост к восьми часам.

Завидев верного стража отечества, Васька удирал куда-то за угол и уже из-под прикрытия посылал по нашему адресу несколько заключительных проклятий. Городовой делал вид, что гонится за ним, и наступал желанный мир. Один раз, впрочем, Васька попался, как кур во щи. Ему пришла дикая фантазия забраться на крышу своей избушки и оттуда громить дачников. Городовой воспользовался этим обстоятельством и устроил форменную осаду при помощи старосты и четырех мужиков.

— Слезай-ка, Вася, будет тебе баловать, — уговаривал городовой.

— А ты кто есть таков человек? — ревел Васька с крыши. — Да я из тебя лучины нащеплю... Ну-ка, полезай сюда, обалдуй!..

— В самом деле, Васька, слезай... — усовещивал староста, хмурый и важный мужик. — Будет тебе фигуры-то показывать, а то ведь мы и того...

— В карц поведете? — сомневался Васька. — Посидите-ка сами в карцу... Покорно благодарю.

— Будет тебе, шалая голова. Сказано — сле-

зай...

Начались формальные переговоры, причем Васька выговорил себе свободное отступление. Но только он слез с крыши, как неприятель нарушил все условия, — и староста и городовой точно впились в Ваську и нещадно поволокли в карц.

— Это-таки не модель!.. — орал Васька, упираясь. — По какому-такому закону живого человека по шее?

Подвиги Васьки вообще нарушали весь мирный строй дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурил» его таинственный жилец, какой-то Иван Павлыч. Раз ночью они вдвоем напугали всю улицу. Мы уже ложились с Пепкой спать, когда послышалось похоронное пение.

— Кто-то из дачников умер, — сделал предположение Пепко.

Но дачник умер бы у себя на даче, а пение доносилось с улицы. Мы оделись и попали к месту действия одними из первых. Прямо на шоссе, в пыли, лежал Васька, скрестив по-покойницки руки на груди. Над ним стоял какой-то среднего роста господин в военном

мундире и хриплым басом читал:

— О бла-женн-ном ус-пе-нии веч-ный покой по-да-а-аждь, господи... Вновь преставленному рабу твоему Василию... И сотвори ему ве-е-ечную па-а-мять!..

— Господин, так невозможно, — уговаривал городовой, — Иван Павлыч, невозможно-с... Помилуйте, этакое, можно сказать, безобразие. Васька, вставай... Вот я тебя, кудлатого, как начну обихаживать. Иван Павлыч, голубчик, терпленья нет.

— Па-азвольте... — азартно отвечал Иван Павлыч, наступая на городового. — А ежели он, Васька, хочет принять христианскую кончину? Невозможно?

— Иван Павлыч, то есть никак невозможно... Васька, вставай!

Произошла целая история. Сбежались дачники и приняли участие. Кто-то уговорил Ивана Павлыча уйти в ресторан, а Васька попал в руки городового. Он защищался отчаянно, пока не обессилел.

— Н-на, получай... — хрипел Васька, отдавая свою особу в руки правосудия. — Только не подавись, смотри.

— Ты у меня разговаривать, идол?

— А ты зачем по скуле?.. Разве это порядок? Да я тебя...

За вычетом этих маленьких неудобств, как озорничество дачного мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо и мирно. Удобства для наблюдения этой жизни были на каждом шагу, и я любил бродить около дач, особенно в дальних уголках, как деревушки Кабаловка и Заманиловка. Там были такие милые дачки, прятавшиеся в лесу. И, должно быть, там жилось хорошо. По крайней мере мне так казалось... Я часто встречал импровизированные кавалькады, возвращение с веселых пикников, просто прогулки и втайне завидовал этим счастливым людям, особенно сравнивая свое собственное положение. Оставшаяся в Петербурге «академия» и наши знакомые швеи здесь заменились пьяницей-немцем и хористками, — обмен не особенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная жажда жизни, и я презирал обстановку и людей, среди которых приходилось вращаться. В самом деле, что это за жизнь и что за люди — стыдно сказать. А время проходит, те лучшие

годы, о которых говорит поэт. От природы я был всегда склонен к мечтательности, а здесь для этих упражнений материал представлялся кругом. Я ставил себя в разные геройские положения, создавал целые сцены и романы и даже удивлялся своей собственной находчивости, остроумию и непобедимости. Природная скромность и застенчивость сменялись противоположными качествами. О, я хотел жить за всех, чтобы все испытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та проходит черт знает как. Очень незавидное существование бедняка-студента, заброшенного среди чужих людей. Можно было, конечно, познакомиться с приличным обществом, но тут являлось неразрешимое препятствие: не было подходящего костюма, а появиться где-нибудь в зверином образе — смешно. Оставалось продолжать роль «оригинала», которая делалась тяжелой именно теперь, когда просто хотелось жить, как жили все другие, не оригиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяние. Ведь вся жизнь так пройдет, меж пальцев, все только будешь собираться жить

и думать, что настоящее гнусное положение только пока, так, а завтра начнется уже суть жизни. Я знал, как много людей изживают всю жизнь с этой дешевенькой философией и получают счастливые завтра только там, после смерти. Ведь так страшно жить, наконец, да и не стоит. За этим унылым настроением наступала реакция, и я говорил себе: «Нет, постойте, я еще буду жить и добьюсь своего... Все вы, которые сейчас наслаждаетесь жизнью в полную меру, будете мне завидовать... Да... да, и еще раз да!» Основанием для таких гордых мыслей служил мой роман: вот напишу, и тогда вы узнаете, какой есть человек Василий Попов... Средство было самое верное, а остальное — вопрос времени. Мое мечтательное настроение переходило почти в галлюцинации, до того я видел живо себя тем другим человеком, которого так упорно не хотели замечать другие. Наша дачная лачуга и общий склад существования заставляли думать об иной жизни.

Кстати, Пепко начал пропадать в «Розе» и часто возвращался под хмельком в обществе Карла Иваныча. Немец отличался голубиной

незлобивостью и никому не мешал. У него была удивительная черта: музыку он писал по утрам, именно с похмелья, точно хотел в мире звуков получать просветление и очищение. Стихи Пепки аранжировались иногда очень удачно, и немец говорил с гордостью, ударяя себя кулаком в грудь:

— О, это большой человек писал... Настоящий большой!.. А маленький человек — пьяница...

Раз Пепко вернулся из «Розы» мрачнее ночи и улегся спать с жестикуляцией самоубийцы. Я, по обыкновению, не расспрашивал его, в чем дело, потому что утром он сам все расскажет. Действительно, на другой день за утренним чаем он раскрыл свою душу, продолжая оставаться самоубийцей.

— Поздравляю: к нам переезжают Верочка и Наденька...

— Куда к нам?

— А сюда, в Парголово... Ты, конечно, будешь рад, потому что ухаживал за этой индюшкой Наденькой. А, черт...

— Где ты их встретил?

— Да в «Розе»... Сижу с немцем за столи-

ком, пью пиво, и вдруг вваливается этот старый дурак, который жужжал тогда мухой, а под ручку с ним Верочка и Наденька. Одним словом, семейная радость... «Ах, какой сюрприз, Агафон Павлыч! Как мы рады вас видеть... А вы совсем бессовестный человек: даже не пришли проститься перед отъездом». Тьфу!..

— Я не понимаю, чем они тебе мешают? — удивлялся я, хотя и понимал истинную причину его недовольства: он боялся, что появится в pendant[108] девица Любовь.

— А, черт... — ругался Пепко. — Ведь пришла же фантазия этим дуракам нанять дачу именно в Парголове, точно не стало других мест. Уж именно чертовы куклы!.. Тьфу!..

Пепко волновался целый день и с горя напился жесточайшим образом. Его скромное исчезновение из Петербурга уже не было тайной...

Глава 17

Я продолжал мечтать, пополняя недочеты и прорехи действительности игрой воображения. Мое настроение принимало болезненный характер, граничивший с помешательством. Мысль о последнем приходила мне не раз, и, чтобы проверить себя, я сообщал свои мечты Пепке. Нужно отдать полную справедливость моему другу, который обладал одной из величайших добродетелей, именно — уменьем слушать.

— Так жить нельзя, Пепко, как мы живем... Это — жалкое прозябание, нищета, несчастье. Возьмем хоть твой «женский вопрос»... Ты так легко к нему относишься, а между тем здесь похоронена целая трагедия. В известном возрасте мужчина испытывает мучительную потребность в любви и реализует ее в подавляющем большинстве случаев самым неудачным образом. Взять, например, хоть тебя...

— Ну, меня-то можно оставить в покое.

— Нет, просто как пример. Ведь ты любишь женщин?

— О!..

— А между тем это только иллюзия. Разбери свое поведение и свои отношения к женщинам. Ты размениваешься на мелкую монету и удовлетворяешься более или менее печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

— Я — погибший развратник!

— И этого нет, потому что и в пороках есть своя обязательная хронология. Я не хочу сказать, что именно я лучше — все одинаковы. Но ведь это страшно, когда человек сознательно толкает себя в пропасть... И чистота чувства, и нетронутость сил, и весь духовный ансамбль — куда это все уходит? Нельзя безнаказанно подвергать природу такому насилию.

— Интересно, продолжай. Из тебя вышел бы недурной проповедник для старых дев...

— Нет, я не имею намерения заниматься твоим исправлением, а говорю вообще и главным образом о себе. Ты обратил внимание на дачу напротив, где живут немцы?

— Эге, тихоня... Вот оно куда дело пошло! Там есть некоторая белокурая Гретхен или

Маргарита. Ну что же, желаю успеха, ибо не завистлив...

— Я недавно встретил эту девушку на вокзале и со стороны полюбовался ею. Какая она вся чистенькая, именно чистенькая, — это сказывается в каждом движении, в каждом взгляде. Она чистенькой ложится спать, чистенькой встает и чистенькой проводит целый день.

— Прибавь к этому, что она выйдет замуж за самого прозаического Карла Иваныча, который будет курить дешевые сигары, дуть пиво и наплодит целую дюжину новых Гретхен и Карлов. Я вообще не люблю немок, потому что они по натуре — кухарки... Твой выбор неудачен.

— А между тем ты ошибаешься, и жестоко ошибаешься... Я с ней познакомился и могу тебя разуверить.

— Ты? Познакомился? Однако ты того, вообще порядочный плут...

— Совершенно случайно познакомился...

— То-то тебя благочестие начало заедать... Понимаю!..

— Нет, ты слушай... Я раз гулял вечером.

Навстречу идет стадо коров. Она шла передо мной и страшно перепугалась. Конечно, я воспользовался случаем и предложил ей руку. Она так мило стеснялась, но страх сделал свое дело...

— Мне это нравится: коровы в качестве доброго гения. Для начала недурно...

— Не перебивай, пожалуйста... Она шла гулять, и мы отправились вместе. Она быстро привыкла ко мне и очень мило болтала все время. Представь себе, что она давно уже наблюдает нас и составила представление о русском студенте, как о чем-то ужасном. Она знает о наших путешествиях в «Розу», знает, что пьяный Карл Иваныч спит у нас, знает, что мы большие неряхи и вообще что не умеем жить.

— Позволь, ей-то какое дело до нас?..

— Дачное право... Потом она говорила, что ей нас бывает жаль. Как это было мило высказано...

— Воображаю!..

Пепко даже озлился и фукнул носом, как старый кот, на которого брызнули холодной водой.

— Потом она рассказывала о себе, как училась в пансионе, как получила конфирмацию, как занимается теперь чтением немецких классиков, немножко музыкой (Пепко сморщил нос), любит цветы, немножко поет (Пепко закрыл рот, чтобы не расхохотаться, — поющая немка, это превосходно!), учит братишек, ухаживает за бабушкой... Одним словом, это целый мир, и весь ее день занят с утра до ночи. Представь себе, она очень развитая девушка и, главное, такая умненькая... Как раз навстречу попался нам ее дядя; он служит где-то инспектором. Она еще раз мило смутилась, а немецкий дядя посмотрел на меня довольно подозрительно.

— Я его как-то видел — самая отвратительная морда.

— Нет, не морда... Напротив, самый добродушный немец, хотя немного и поврежденный мыслью о всесокрушающем величии Германии. Он меня пригласил к себе, и я... я был у них уже два раза. Очень милое семейство... Мы уговорились как-нибудь в воскресенье отправиться в Юкки.

— Partie de plaisir[109] с бутербродами?

Очень мило... Что же ты молчал до сих пор?

— Вольно же тебе пропадать в «Розе»...

— Воображаю, как ты меня аттестовал... Ведь это закон природы, что истинные друзья выстраивают свою репутацию самым скромным образом на очернении своих истинных друзей — единственный верный путь. Да, превосходно... После поездки в Юкки твоя Гретхен примет православие, а ты будешь целовать руку у этой старой фрау с бантами... Что же, все в порядке вещей. Жаль только одного, что ты плох по части немецкого языка. Впрочем, это отличный предлог — она будет давать тебе уроки, старая фрау будет вязать чулок, а ты будешь пожимать маленькие немецкие ручки под столом...

— Ты угадал: я уже беру уроки... Какая она милая, эта Гретхен, если бы ты знал. И какая веселая... Смеется, как русалка...

— Русалка из картофеля?

Дальше я признался, что действительно увлекся этой немочкой, и представил целый ряд доказательств, что брак есть лотерея и что самые безошибочные впечатления — те, которые получаются первыми, а следователь-

но...

— Поздравляю! — ядовито заявил Пепко. — Значит, Исайя ликуй...

— В том-то и дело, что есть одно препятствие... гм... да... У Гретхен есть мать, больная женщина...

— У которой тридцать лет болят зубы?

— Нет, какой-то ревматизм... Да, и представь себе, эта мать возненавидела меня с первого раза. Прихожу третьего дня на урок, у Гретхен заплаканные глаза... Что-то такое вообще случилось. Когда бабушка вывернулась из комнаты, она мне откровенно рассказала все и даже просила извинения за родительскую несправедливость. Гм... Знаешь, эта мутерхен принесла мне большую пользу, и Гретхен так горячо жала мне руку на прощанье.

— Ага!.. Одобряю вполне эту немецкую одну добрую мать, которой мешают только ревматизмы выгнать тебя в три шеи. А что же папахен?

— Отец какой-то странный человек, ни во что не вступается и держится дома гостем... Кажется, дядя имеет больше влияния. Я подозреваю, что тут кроется некоторый кон-

фликт, — именно, что бедный немчик женился на богатой немочке и теперь несет добровольное иго.

— Дурак немецкий, говоря проще.

— Право же, он очень милый человек, хотя и со странностями.

Свой рассказ я закончил мечтами о будущем, напирая главным образом на то, что устойчивая немецкая кровь в следующем поколении исправит неровности и всполохи русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотрудничеством в газетах, поступлю на службу куда-нибудь в контору и т. д. У нас будет маленькая своя квартира, цветы на окнах, рояль, и Пепко будет приходить пить чай. Все это я рассказывал с таким убеждением, что Пепко мне поверил на добрую половину. Такой опыт меня поощрял к дальнейшим фантазиям. Через неделю я рассказал Пепке, что благодаря проискам немецкой матери мой роман кончился и что в довершение всего явился какой-то двоюродный брат — студент из дерптских буршей. Я ревновал, мучился и решился покончить все разом. Бог с ними, с немцами...

— А! испугался, что немецкий бурш тебе зеркало души наковыряет? — злорадствовал Пепко, воспользовавшись случаем.

— Нет, не совсем так... Бурш глуп до святости, а дело в том... как это тебе сказать?.. У них бывает одна знакомая русская девушка. Знаешь, дачка во Втором Парголове с качелями? Да, так я познакомился с ней и только по сравнении оценил все достоинства нашей собственной славянской женщины. Одним словом, я, на поверку оказалось, совсем не любил Гретхен, а только обманывал самого себя. Что может быть лучше русской девушки? Какая жизненная сила, какая дорогая простота! Недаром сказал какой-то француз, что будущее цивилизации висит на губах славянской женщины.

Действительно, такая русская девушка существовала, действительно жила во Втором Парголове на даче с качелями и действительно произвела на меня сильное впечатление. Случилось последнее утром часов в одиннадцать, когда я с своими мечтами возвращался из длинной прогулки по парку. Я шел задумавшись. Заставил меня остановиться и под-

нять голову чей-то звонкий смех. Как раз это была дача с качелями, а на качелях сидела она в белом летнем платье, перехваченном красной широкой лентой вместо пояса. Ей на вид было не больше шестнадцати лет, но она выглядела сформировавшейся девушкой. И какое лицо — красивое, свежее, полное жизни. Серые большие глаза смотрели с такой милой серьезностью, на спине трепалась целая волна слегка вившихся русых шелковистых волос, концы красной ленты развевались по воздуху, широкополая соломенная шляпа валялась на песке... Мне показалось, что незнакомка смотрит прямо мне в сердце, и я весь застыл в одной позе. Девушка сидела на качели, ухватившись руками за веревки, причем можно было видеть эти чудные руки до самого плеча. Было еще действующее лицо, горбун, который за длинную веревку раскачивал хохотавшую шалунью. Мое появление точно погасило смех. Горбун оглянулся в мою сторону и, как мне показалось, посмотрел на меня такими злыми глазами, точно по меньшей мере хотел меня проглотить живьем. Я смутился, даже покраснел и пошел

своей дорогой, унося в душе чудное виденье. Эту живую картину я потом реализовал в своих мистификациях Пепке, а по утрам нарочно проходил мимо дачи с качелями, чтобы хотя издали полюбоваться чудной девушкой в белом платье. По справкам оказалось, что она дочь какого-то инженера и живет с отцом, а горбун — дальний родственник. Как я завидовал этому горбуну, который осмеливался смотреть на нее, говорить с ней, дышать одним воздухом с ней!

В моих рассказах теперь приняли самое деятельное и живое участие отец инженер, безумно любивший свою красавицу дочь, и по-сказочному злой горбун, оберегавший это живое сокровище. Отец не отличался большим характером и баловал свою красавицу. Девушка в белом платье была и капризна, и эгоистка, и пустовата, как все избалованные дети. Она не понимала отца и не могла ему платить той же монетой; и он это чувствовал, мучился и не мог переделать самого себя. Впереди девушку в белом платье ожидала незавидная участь. Я слишком поторопился, предупреждая события и давая каждый день по

новой главе, — Пепко догадался, но сделал вид, что верит, как раньше, и охотно присоединился к моим фантазиям, развивая основную тему. Ему больше всего нравилась психология горбуна, как проверка нормального среднего человека.

— А знаешь что, братику, — проговорил Пепко однажды, когда мы импровизировали свою «историю девушки в белом платье», — ведь это и есть то, что называется психологией творчества. Да, да... Именно уметь сосредоточить свое внимание так, чтобы получались живые люди, которых можно видеть, с которыми можно разговаривать, как с живыми людьми. Но вопрос в том, как сосредоточить внимание именно таким образом? Путь один: неудовлетворенное чувство... да. Ты представь себе голодного человека, сильно голодного — ведь все мысли и чувства у него сосредоточены на еде, и он лучше всякого завзятого гастронома представляет целую съедобную оперу. Он видит эти кушанья, ощущает их запах, вообще создает... Вот где тайна всякого творчества. А так как любовь составляет центральный пункт в нашей жизни, то есте-

ственно, что только отсюда должно проистекать все остальное. Желание желаний, так называет Шопенгауэр любовь, заставляет поэта писать стихи, музыканта создавать гармонические звуковые комбинации, живописца писать картину, певца петь, — все идет от этого желания желаний и все к нему же возвращается. Возьми литературу, которая существует несколько столетий, и везде и все основано именно на этом, и так же будет, когда и нас с тобой не будет. Одним словом, я бы издал закон, чтобы поэтам, беллетристам и вообще художникам показывать красивых женщин только издали, и тогда наступил бы золотой век искусства.

— Но ведь это жестоко по меньшей мере.

— Нисколько, потому что все эти господа художники жили бы удесятеренной жизнью в своих произведениях. Да, да... Это верно.

Глава 18

Белые ночи... Что может быть лучше петербургской белой ночи? Зачем я лишен дара писать стихи, а то я непременно описал бы эти ночи в звучных рифмах. Пепко пишет стихи, но у него нет «чувства природы». Несчастный предпочитает простое газовое освещение и уверяет, что только лунатики могут восхищаться белыми ночами.

— Прежде всего, луна — предрассудок, — уверяет он серьезным образом.

— Тогда все небо нужно считать предрассудком?

— И все небо предрассудок, вернее — блестящая ложь. Достаточно сказать, что свет от ближайшей к земле звезды доходит до нас только через восемь тысяч лет, а от дальних звезд через сотни тысяч... Значит, я вижу не настоящее небо, а только его призрак. А луну я прямо ненавижу, как самую лукавую планетишку, которая и светит-то краденым светом. Поэтому, вероятно, и большинство краж совершается именно ночью... Вообще ночь располагает к гнусным поступкам, и луна может

служить эмблемой воровства. Вот солнце — это вполне порядочное светило, которое светит своим собственным светом, и я уважаю его, как порядочного человека. Когда ты будешь делать описания небесного свода, рекомендую тебе одно сравнение, которое, кажется, еще не встречалось в изящной литературе: небо — это голубая шелковая ткань, усыпанная серебряными пятачками, гривенниками, пятиалтынными и двугривенными.

— Можно даже сказать: крейцерами и франками?

— Отчего же не сказать и так... В таких сравнениях самое главное — приятная неожиданность, чтобы у читателя защекотало в носу. Ты даже можешь вперед уплатить мне за вышеприведенное блестящее сравнение... Например, бутылка пива в «Розе»? Это меня поощрит к дальнейшим сравнениям.

Пепко был неисправим, и спорить с ним было бесполезно.

А мне так нравились эти чудные белые ночи. От них веяло какой-то сказочно-меланхолической красотой... В воздухе точно взвешена серебристая пыль. Все краски выцветали и

покрывались серебристым налетом, как будто весь земной шар опустили в гальванопластическую ванну и высеребрили. Впрочем, это дрожавшее и переливавшееся живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившиеся под ним краски, принимало выцветшие гобеленовские тона и нежность акварели. Я сравнил бы день с картиной, написанной грубыми масляными красками, а ночь — с той же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это сравнение принадлежит мне, и я не обязан поощрять Пепку новой бутылкой пива. Да, хороши белые ночи... Они нагоняли на меня и тоску, и жажду жизни, и то неопределенно-хорошее настроение, которое может передать только музыкальный аккорд. Я не мог спать в такую ночь и бродил мимо дач, где тоже не спали, любуясь красотою чудного освещения. Мне было приятно сознание, что есть еще другие лунатики и что они смутно переживают то же самое, что носил я в себе.

Как это иногда случается в жизни, самые тонкие ощущения и самые изящные эмоции помещались рядом с грубыми проявлениями человеческой натуры. Достаточно оказать,

что прямо от наслаждений белой ночью я попадал в кабак, то есть в ресторан «Розу», где Пепко культивировался довольно прочно. Общество арфисток, пьяного тапера, интенданта Летучего и К®, — одним словом, проза в самой обидной форме. Пепко обладал удивительной способностью необыкновенно быстро ассимилироваться везде и сделался в «Розе» своим человеком. Арфистки советовались с ним, поверяли какие-то тайны; Пепко дошел до того, что даже лечил одну из этих несчастных созданий.

— Как тебе не стыдно! — укорял я легкомысленного друга. — Ведь это шарлатанство...

— Во-первых, я не виноват, что Мелюдэ такая хорошенькая, а во-вторых, мое шарлатанство отличается от докторского только тем, что я не беру за него гонорара...

Мелюдэ — кличка хорошенькой пациентки по хору. Это было очень изящное и миленькое создание, почти красавица, в стиле немецкой Гретхен. Из живой рамы белокурых волос глядело такое изящное, тонкое личико, с красиво очерченным носиком, детски-свежим ротиком, с какой-то особенной грацией

каждой линии и голубыми детскими глазами. Ей было всего восемнадцать лет, но эти детские глаза уже смотрели мертвым взглядом, отражая в себе бессонные пьяные ночи, бродяжничество в качестве арфистки по кабакам и вообще улицу. Оставалась одна внешняя оболочка красивой и свежей девушки, прикрывавшая собой полное нравственное падение. Я испытывал каждый раз какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ протягивала мне свою изящную тонкую ручку и смотрела прямо в лицо немигающими наивно открытыми глазами, — получалось таксе же ощущение, какое испытываешь, здороваясь с теми больными, которые еще двигаются на ногах, имеют здоровый вид и про которых знаешь, что они бесповоротно приговорены к смерти. Пепко, кажется, был другого мнения и вел какие-то таинственные и длинные беседы с этим падшим ангелом. Раз я сделался невольным свидетелем одного трагического финала. Пепко тоном проповедника приглашал Мелюдэ бросить трактирную жизнь и сделаться порядочной женщиной.

— Ведь стоит только захотеть, — повторял

он, делая ударение на последнем слове.

Она посмотрела на него своими детскими глазами и расхохоталась прямо в лицо. Пепко ужасно сконфузился и почувствовал себя мальчишкой, а красивое чудовище продолжало хохотать.

— Ты забыл только одно, Пепко: все вы, мужчины, подлецы... — говорила Мелюдэ, задыхаясь от хохота. — Особенно мне нравятся вот такие проповедники, как ты. Ведь хорошие слова так дешево стоят...

Пепко со всем хором был на «ты».

Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхивал головой, как собака, проглотившая муху, что-то мычал и, наконец, проговорил:

— А ведь она права...

— Кто?

— Мелюдэ... Физиологи делают такой опыт: вырезают у голубя одну половину мозга, и голубь начинает кружиться в одну сторону, пока не подохнет. И Мелюдэ тоже кружится... А затем она очень хорошо сказала относительно подлецов: ведь в каждом из нас притаился неисправимый подлец, которого

мы так тщательно скрываем всю нашу жизнь, — вернее, вся наша жизнь заключается в этом скромном занятии. Из вежливости я говорю только о мужчинах... Впрочем, я, кажется, впадаю в философию, а в большом количестве это скучно.

Проживая в своей избушке самым мирным образом, мы и не предчувствовали, что стоим накануне событий, выражаясь газетным стилем. Я уже сказал, что наши знакомые, сестры Глазковы, тоже переселились на лето в наше Третье Парголово. У них была нанята такая же дача, как у нас, то есть простая деревенская изба. Разница была в величине и в том, что женские руки сумели убрать ее и прикрасить благодаря дешевеньким дачным обоям, драпировкам из дешевого ситца и цветам. Мы встречались с ними, но прежнее знакомство как-то плохо вязалось. Главным препятствием являлась здесь невидимо присутствовавшая тень девицы Любочки, о которой Пепко не желал вспоминать. Он не без основания предполагал, что Наденька или Верочка где-нибудь случайно ее встретят и, конечно, не преминут открыть его убежище. Деви-

цы тоже относились к Пепко немного подозрительно и не упускали случая сделать более или менее ядовитый намек по адресу Любочки. Одним словом, получалось то, что называется натянутыми отношениями.

Как-то уже вошло в обычай, что даже капитальные события начинаются с пустяков и мелочей. В данном случае началом события послужила приклеенная к гостеприимным дверям «Розы» простая белая бумажка, на которой было начертано: «Сего 17 июня имеет быть дан инструментально-вокально-музыкально-танцевальный семейный вечер с плату 20 к. на персону. А дитя пускают весьма даром». Очевидно, это безграмотное объявление было составлено пьяным тапером, оказавшимся единственным грамотным человеком во всем хоре. Это невинно-безграмотное объявление сделало то, что в первое же воскресенье в «Розе» появились сестры Глазковы в сопровождении жужжавшего мухой толстяка. Пепко питал слабость к хореографии и танцевал с барышнями до ожесточения. На объявление пришли еще кое-какие дачники, и дешевенькое веселье оформилось. Набралось

человек двадцать. Вообще время провели недурно, и только под конец вечера Пепко едва не подрался с каким-то служащим на финляндской железной дороге. Собственно, это было лингвистическое недоразумение: Пепко не говорил по-шведски, а чухонец не желал понимать по-русски. Стороны хотели разрешить это взаимное непонимание при помощи венских стульев и пустых бутылок из-под пива, и, вероятно, произошло бы настоящее побоище, если бы в дело не вмешалась Мелюдэ, из-за которой, собственно, и вышла вся история. Она отлично знала трактирную психологию и потушила бурю одним движением: схватила два стакана пива и подала врагам, — каждый из них имел полное основание думать, что пиво от чистого сердца подано именно ему, а другому только для отвода глаз. По крайней мере Пепко давал впоследствии такое толкование в свою пользу.

— Я вообще не понимаю, за что меня так любят женщины, — хвастался он. — А чухонец-то в каких дураках остался...

Между прочим, Пепко страдал особого рода манией мужского величия и был убежден,

что все женщины безнадежно влюблены в него. Иногда это проявлялось в таких явных формах, что он из скромности утаивал имена. Я плохо верил в эти бескровные победы, но успех был несомненный. Мелюдэ в этом мартирологе являлась последней жертвой, хотя впоследствии интендант Летучий и уверял, что видел собственными глазами, как ранним утром из окна комнаты Мелюдэ выпрыгнул не кто другой, как глупый железнодорожный чухонец.

Эти невинные развлечения были неожиданно прерваны. Как теперь помню роковое воскресенье, когда мы с Пепкой отправились в «Розу» вечером. Оба находились в самом хорошем настроении, как и следует людям, приготовившимся повеселиться. Когда я у кассы брал входной билет, меня кто-то тронул за руку. Оглядываюсь — Наденька Глазкова, которая улыбалась с какой-то особенной таинственностью. Молчит и улыбается с вызывающим кокетством. Я инстинктивно обернулся и встретился лицом к лицу с высокой, удивительно красивой девушкой, которая тоже смотрела на меня чуть-чуть прищуренными

глазами и чуть-чуть улыбалась.

— Извините... — пробормотал я ни к селу ни к городу.

— Шура, позволь тебе представить Василия Иваныча, — рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбаться... — Он сочиняет большой роман... Да.

Лицо Шуры вдруг приняло серьезное выражение, и она почти торжественно протянула мне свою руку. Я еще больше смутился и готов был наговорить Наденьке дерзостей, потому что она своей рекомендацией ставила меня в самое нелепое положение. Но вместо дерзостей я проговорил каким-то не своим голосом:

— Позвольте быть вашим кавалером.

Она просто и серьезно подала мне руку, и я торжественно ввел в залу своих дам. Вся эта немногосложная и ничтожная по содержанию сцена произошла на расстоянии каких-нибудь двух минут, но мне показалось, что это была сама вечность, что я уже не я, что все люди превратились в каких-то жалких букашек, что общая зала «Розы» ужасная мерзость, что со мной под руку идет все про-

шедшее, настоящее и будущее, что пол под ногами немного колеблется, что пахнет какими-то удивительными духами, что ножки Шуры отбивают пульс моего собственного сердца. Да, такие минуты не повторяются, как сама молодость. А Наденька Глазкова заглядывала мне в лицо и улыбалась. Я, должно быть, тоже улыбался и, должно быть, очень глупо улыбался... Но женщины умеют читать между строк, и Наденька отлично понимала, что делается у меня на душе. О, я готов был идти вот с этой незнакомкой Шурой под руку целую жизнь и чувствовал, как сердце замирает в груди от наплыва неизведанного чувства. Это была она, та первая любовь, которая приходит, как пожар, и не оставляет камня на камне. И теперь, через много лет, в воображении проносятся знакомые черты чудного девичьего лица, и какая-то запоздалая тоска охватывает уставшее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наивное, с большими серыми глазами, удивительным цветом кожи, с строгими линиями, с выражением какой-то детской доверчивости. Темные волнистые волосы были собраны в одну косу, а на

лбу зачесаны гладко, без противных кудряшек. Одета была первая любовь в черное шелковое платье и черную накидку; черная шляпа, черные перчатки и черный зонтик дополняли этот костюм не по сезону. Именно черный цвет всего больше шел к ней, и она была так хороша, что не нуждалась в сезонных костюмах. Высокий рост придавал ей вид королевы, которая только что сошла с престола и милостиво вмешалась в толпу обыкновенных людишек.

— Меня зовут Александра Васильевна, — говорила она, усаживаясь к нашему столику.

Глава 19

Весь вечер пронесся в каком-то тумане. Я не помню, о чем шел разговор, что я сам говорил, — я даже не заметил, что Пепко куда-то исчез, и был очень удивлен, когда лакей подошел и сказал, что он меня вызывает в буфет. Пепко имел жалкий и таинственный вид. Он стоял у буфета с рюмкой водки в руках.

— Что такое случилось, Пепко?

— Очень приятная история... Сейчас еду в Петербург и задушу эту гадину Федосью.

Пепко был бледен, губы дрожали, и мне показалось, что он сошел с ума. При чем этот трагический тон, рюмка водки, удушение Федосьи? Машинально выпив рюмку и позабыв закусить, Пепко отвел меня в сторону и прошептал:

— Она здесь... понимаешь? Захожу давеча в сад, чтобы увидеть Мелюдэ, а там на скамеечке сидит она.

— Да кто она?

— Ах, какой ты... ну, она, Любочка. Сейчас меня за рукав, слезы, упреки, — одним словом, полный репертуар. И вот все время му-

чила... Это ее проклятая Федосья подвела, то есть сказала мой адрес. Я с ней рассчитаюсь...

— Да ведь Любочка могла достать наш адрес и помимо Федосьи?

— Нет, уж я это знаю... оставь. Теперь одно спасенье — бежать. Все великие люди в подобных случаях так делали... Только дело в том, что и для трагедии нужны деньги, а у меня, кроме нескольких крейцеров и кредита в буфете, ничего нет.

Я с своей стороны мог бы прибавить, что и для любви тоже нужны деньги, но трагедия пересилила, и половина моих крейцеров перешла к Пепке. Он как-то особенно конфузливо взял деньги и проговорил:

— Я знаю, что ты будешь меня презирать... Я сам презираю себя. Да... Прощай. Если она придет к нам на дачу, скажи, что я утонул. Во всяком случае, я совсем не гожусь на амплуа белошвейного предмета... Ты только вникни: предмет... тьфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся к трагическому положению приятеля и мысленно соображал, хватит ли моих крейцеров, в случае, если Александра

Васильевна захочет поужинать. Никогда еще я так не презирал свою бедность... Каких-нибудь десять рублей могли меня сделать счастливым, потому что нельзя же было угощать богиню пивом и бутербродами.

— Прощай, Вася!

— Прощай, Пепко!

Я сейчас же забыл о Пепкиной трагедии и вспомнил о ней только в антракте, когда гулял под руку с Александрой Васильевной в трактирном садике. Любочка сидела на скамейке и ждала... Я узнал ее, но по малодушию сделал вид, что не узнаю, и прошел мимо. Это было бесцельно-глупо, и потом мне было совестно. Бедная девушка, вероятно, страдала, ожидая возвращения коварного «предмета». Александра Васильевна крепко опиралась на мою руку и в коротких словах рассказала свою биографию.

— Мама живет на Песках... Она получает небольшую пенсию. Раньше я работала на магазин... Когда будете в Петербурге, непременно заверните к нам. Слышите: непременно...

Эта просьба походила на то, если бы начали упрашивать землю вращаться около своей

оси, и я великодушно обещал быть на Песках непременно. Потом мне удалось сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо засмеялась. Она удивительно хорошо смеялась и делалась еще красивее. Этот смех меня ободрил, и я уже начинал придумывать смешное, а девушка опять смеялась, смеялась больше потому, что стояла такая дивная белая ночь, что ей, девушке, было всего восемнадцать лет, что кавалер делал героические усилия быть остроумным, что вообще при таких обстоятельствах ничего не остается, как только смеяться.

Вечер промелькнул с какой-то сумасшедшей быстротой. Был один трагический момент, когда я предложил Александре Васильевне поужинать в одной из садовых беседок, — я даже теперь, через двадцать лет, не могу себе представить, чем бы я мог заплатить за эту безумную роскошь. Но ведь моя богиня хотела есть, и я заметил, что она с жадностью посмотрела на соседний столик, где были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глазкова.

— Нет, мы не будем ужинать в рестора-

не, — заявила она с решительным видом, — и подадут грязно, и масло прогорклое... Вообще здесь не стоит ужинать, и мы это устроим лучше у нас дома. Не правда ли, Шура?

Ответом был голодный взгляд, обращенный на соседнего цыпленка. Бедная богиня очень хотела кушать... А я готов был расцеловать мою спасительницу Наденьку. Вообще это была замечательно милая девушка, которая в течение целого вечера упорно жертвовала собой, — больше того, она старалась оставаться незаметной, на что решатся очень немногие женщины. Я питал к ней благодарное чувство, которое было испорчено только одним эпизодом. Ресторан закрывался, и нам следовало уходить. Я вспомнил про несчастную Любочку, скитавшуюся скорбной тенью в саду, и сообщил об этом Наденьке.

— Я ее видела... — равнодушно ответила девушка.

— Видели? Вы с ней здоровались?

— Нет...

Меня больше всего поразил самый тон, которым Наденька говорила. А, вероятно, Любочка страшно наскучалась и хочет тоже

есть... Отчего бы ее не пригласить поужинать вместе с нами?

Наденька ответила на мой немой вопрос одной фразой:

— Она может уехать с последним поездом... Я вообще не понимаю, зачем она притащилась сюда и зачем прячется в саду. Вообще глупо...

Это была специально женская жестокость, которая в то время меня очень удивляла, а в данном случае как-то уже совсем не вязалась с проявленными в течение вечера Наденькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцветных фонариков в саду погасла сама, другую половину гасил сторож. В зале было уже совсем темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно что оборвалось в груди.

— Я имею дурную привычку крепко опираться на руку своего кавалера, — объяснила Александра Васильевна, когда мы выходили из «Розы».

— О, пожалуйста...

Наденька опять впала в самопожертвенное настроение, отказалась от моей другой

руки и быстро пошла вперед одна, оставив нас tete-a-tete.[110] Впрочем, этот невинный маневр имел и свое специальное значение — именно, девушка, вероятно, хотела предупредить относительно ужина свою одну добрую мать без слов. Когда я остался один с Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожиданно охватило меня, был страх, страх за собственное ничтожество, осмелившееся служить опорой совершенству. В довершение всего меня совершенно оставило остроумное настроение, и я решительно не мог ничего придумать, чем занять даму. Впрочем, она шагала такой усталой походкой, что не спасло бы никакое остроумие. Мы дошли до места почти молча, и Александра Васильевна только из вежливости удерживала голодную зевоту. Эта маленькая неудача служила только введением к следующей: одна добрая мать без слов встретила нас так сурово, что мысль о домашнем ужине могла показаться чуть не святотатством. По лицу Наденьки я заметил, что у нее только что вышло бурное объяснение с матерью, и она даже готова заплакать. Я удивился, где эта милая девушка взяла си-

лы сказать мне:

— Вы, конечно, Василий Иваныч, останетесь поужинать с нами...

Милая Наденька жертвовала собой еще раз, и можно себе представить ее положение, если бы я взял да и остался. Но я этого, конечно, не сделал и начал прощаться. Наденька понимала, как мне больно уходить в свою нору, и с особой выразительностью пожала мне руку.

— Приходите завтра! — крикнула она мне вслед. — Я Шуру не отпущу...

Это было наградой за мою проницательность, — женщины ничего так не ценят, как это понимание без слов.

Я возвращался домой в каком-то чаду, напрасно стараясь связать в одно целое впечатления этого рокового вечера. Прежде всего, я ужасно досадовал на свою ненаходчивость при возвращении из «Розы». А между тем как мне много хотелось сказать Шуре, мучительно хотелось. И все какие хорошие вещи... О, только она одна в целом мире могла понять меня, а я шел рядом с ней болван-болваном! Зато теперь — какие остроумные диалоги я

вел с ней, как был красноречив, находчив и как непринужденно предъявлял ее вниманию сокровища своего ума. Было просто жаль, что Александра Васильевна лишена возможности видеть меня во всем блеске. Наверно, она составила себе не особенно лестное понятие о моей особе и даже, может быть, считает меня просто болваном... Но есть завтра — слышите, Шура? — есть солнце, которое взойдет завтра с специальной целью показать вам вашего покорного слугу совершенно в ином свете. Да, вы будете приятно изумлены, Шура, потому что еще никогда не встречали такого удивительного молодого человека. Завтра, завтра, завтра...

Мне хотелось петь, хотелось думать стихами, хотелось разбудить все Третье Парголово и сказать всем, что Шура красавица и что она завтра останется на весь день.

— Шура, Шура... — повторял я вслух, точно в этом имени скрыто было какое-то заклинание.

Странно, что первое, что обратило на себя мое внимание при возвращении в свою избушку, были... сапоги. Да, те высокие студен-

ческие сапоги, в которых я обыкновенно ходил. Мне показалось, что они, эти сапоги, являлись оскорблением изящных прюнелевых ботинок, черных лайковых перчаток, черного зонтика, черной шляпы и особенно черного шелкового платья. Ведь это было нахальством, что такие нелепые сапожищи осмелились шагать рядом с прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра... Позвольте, Пепко уехал в моих штиблетах, и я целый день должен буду оставаться «оригиналом». Свои штиблеты Пепко отдал в починку, надел мои и уехал... Что же это будет? Полцарства за самые скромные штиблеты... И как мне это давеча в голову не пришло, когда Пепко собрался удрать? Ах, изверг естества... Эта маленькая подробность привела меня в отчаяние и нагнала целый рой каких-то уже совсем бессвязных мыслей. Например, припоминая разговор с Александрой Васильевной в саду, я точно открыл трещину в том, что еще час назад было и естественно, и понятно, и просто — именно: одна добрая мать, получающая маленькую пенсию, адрес Пески, работа на магазин, и тут же шелковое платье, зонтик,

перчатки и т. д. Мне вдруг захотелось вернуться на дачу Глазковых, вызвать Наденьку и спросить ее, что это значит. Да, узнать все сейчас же, разъяснить... Я весь задрожал при той мысли, что на мой вопрос Наденька только пожмет плечами и улыбнется, как улыбнулась давеча. Нет, это ужасно, это бесчеловечно, это... этому нет названия. Смертный приговор рядом с этим является милой шуткой...

Потом я сразу успокоился. Доказательство нелепости предыдущих сомнений было под рукой: стоило только закрыть глаза и представить себе это дивное лицо... Разве этот чистый взгляд осмелится омрачить хотя одна нечистая мысль? Она — совершенство, а все остальное пустяки. По естественной ассоциации идей я логически перешел к собственной особе. Во-первых, красив я или «немного лучше черта», как большинство мужчин? Как-то раньше я мало обращал внимания на свою наружность, а теперь испытывал мучительную потребность быть именно красивым, красивым только для того, чтобы иметь право думать о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный нос, хороший для

мужчины рост, небольшие руки; но ведь это еще очень немного, больше, чем немного. У нас с Пепкой даже не было зеркала, и я не мог сейчас же проверить свои физические достоинства. Впрочем, для мужчины наружность — вещь не первой важности, и ее можно с успехом заменить громким именем, успехом, известностью; женщины летят на эти пустяки, как мотыльки на огонь. Да, я буду знаменит, черт возьми, и не для себя, а для нее... Она будет гордиться тем, что первая открыла во мне будущую знаменитость, когда остальной мир оставался еще в возмутительном неведении. Нет, вы все меня признаете, будете завидовать, а я буду думать о ней, жить для нее, дышать ею...

Одним словом, в моей голове несся какой-то ураган, и мысли летели вперед с страшной быстротой, как те английские скакуны, которые берут одно препятствие за другим с такой красивой энергией. В моей голове тоже происходила скачка на дорогой приз, какого еще не видал мир.

Эта внутренняя работа мысли и чувства делалась просто невыносимой благодаря то-

му, что не могла ничем проявиться во внешних формах. Бежавший позорно Пепко подвергался большой опасности выслушать целую исповедь первой любви... У меня явилось даже подозрение, что не бежал ли он вместе и от меня, заподозрив двойную опасность. Вообще я к нему относился сейчас враждебно. Не угодно ли: человек убежал ни раньше, ни после, как именно сегодня, — убежал человек, испытывавший мое терпение своими исповедями самым бессовестным образом. Нет, как хотите, а это нехорошо, бессовестно, подло... Одним словом, не по-товарищески.

Я десять раз укладывался спать, и из этого ничего не выходило. Сон бежал от моих глаз, как выражался Пепко высоким слогом. Вдобавок в нашей избушке ужасно душно... Этот низкий потолок просто давил меня. Измучившись окончательно, я поднялся с своей постели, подошел к окну и открыл его. Вдруг мне показалось... Нет, это, вероятно, была тень. После некоторого колебания я взглянул в окно и увидел... Нет, я не увидел, а почувствовал как-то всем телом, что это она, несчастная Любочка, которая сидела на скамейке у

нашей калитки. Какая она маленькая в этой позе... Настоящий ребенок. И поза такая беспомощная, как у замерзающего человека. У меня явилось давешнее малодушное желание не заметить ее, но я преодолел себя и тихо спросил:

— Это вы, Любочка?..

Она вскочила, сделала движение убежать, но только закрыла лицо руками и бессильно опустилась на свою скамейку. О, какой ты мерзавец, Пепко!..

Глава 20

Одеться было делом одной минуты. Я торопился точно на пожар, а Любочка и не думала уходить. Она сидела по-прежнему на лавочке, в прежней убитой позе. Белая ночь придавала ее бледному лицу какой-то нехороший пепельный оттенок.

— Любочка, что вы тут делаете? — спрашивал я, выходя в калитку.

Она подняла на меня свои кроткие большие глаза с опухшими от слез веками. Меня охватила какая-то невыразимая жалость. Мне вдруг захотелось ее обнять, приласкать, наго-

ворить тех слов, от которых делается тепло на душе. Помню, что больше всего меня подкупала в ней эта детская покорность и беззащитность.

— Любочка, вам холодно?

— Нет...

— Вы хотите есть?

— Нет...

— Вы устали?

— Нет... Если вам не трудно, дайте мне стакан воды.

Это была трогательная просьба. Только воды, и больше ничего. Она выпила залпом два стакана, и я чувствовал, как она дрожит. Да, нужно было предпринять что-то энергичное, решительное, что-то сделать, что-то сказать, а я думал о том, как давеча нехорошо поступил, сделав вид, что не узнал ее в саду. Кто знает, какие страшные мысли роятся в этой девичьей голове...

— Знаете что, Любочка, идите спать в нашу избушку, а я пойду гулять в парк. Мне все равно не спится, а до утра осталось немного... Потом мы поговорим серьезно.

Это предложение точно испугало ее. Лю-

бочка опять сделала такое движение, как человек, у которого единственное спасение в бегстве. Я понял, что это значило, и еще раз возненавидел Пепку: она не решалась переночевать в нашей избушке потому, что боялась возбудить ревнивые подозрения в моем друге. Мне сделалось обидно от такой постановки вопроса, точно я имел в виду воспользоваться ее беззащитным положением. «Она глупа до святости», — мелькнула у меня мысль в голове.

— Мне решительно ничего не нужно, — прошептала она в ответ на мои обидные мысли. — Ничего... Только, ради бога, не гоните меня.

— Послушайте, Любочка, ведь это сумасшествие! Да, настоящее сумасшествие... Ведь вы знаете, что Пепко уехал, вернее сказать — бежал?..

— Да, знаю...

— Зачем же вы остались в таком случае?

Она посмотрела на меня и совершенно серьезно ответила:

— Не знаю... Да мне и некуда идти... Я ничего не знаю.

— Послушайте, нужно же иметь хотя маленькое самолюбие: человек бегает от вас самым позорным образом, ведет себя, как... как... ну, как негодяй, если хотите знать.

— Что вы, что вы?! — испугалась еще раз Любочка, вскакивая. — Это я сама виновата... Да, сама, а Агафон Павлыч хороший.

— Хороший?.. ха-ха!

Меня начала душить бессильная злость. Что вы будете тут делать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова была не в порядке. А она смотрела на меня полными ненависти глазами и тяжело дышала. «Он хороший, хороший, хороший»... говорили эти покорные глаза и вся ее фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сделалось серым, — близился солнцевосход. Где-то в дачном садике чирикнула первая птичка. Белая ночь кончалась. Любочка опять впала в свое полузабытье. В сущности я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Она была почти красива, вернее сказать — миловидна. Эти большие испуганные глаза смотрели с такой затаенной скорбью. Меня, между прочим, поразила одна особенность — современ-

ный женский костюм совсем не приспособлен для таких положений, в каком находилась сейчас Любочка. Шерстяная юбка была некрасиво смята, шляпа съехала набок, летняя накидка висела какой-то тряпкой, сложенный зонтик походил на сломанное крыло птицы; одним словом, все это не годилось для трагической обстановки, напоминая будничную дешевенькую суету.

— Нужно же что-нибудь делать, Любочка, — заговорил я, набираясь сил. — Так нельзя...

— Что нельзя?

— Да вот сидеть так...

— Идите спать... А я посижу здесь... Может быть, я вас компрометирую?

— А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете и уснете в нашей избушке? Что может подумать о вашем поведении Пепко!.. Как это страшно...

— Вы его не любите...

— И даже очень не люблю...

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Теперь уж я сделал движение в ожидании истерики.

— Я... я его так люблю... — шептала Любочка, не отнимая рук. — А вас ненавижу... Да, ненавижу, ненавижу, ненавижу!.. Вы его не любите и расстраиваете... Не от меня он убежал, а от вас.

— От меня?

— Да, вы, вы... Вы думаете, что я совсем дура и ничего не понимаю? Ха-ха!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, чтобы спрятать от меня. Я все знаю... и ненавижу вас... всех...

Разговор принял совсем неожиданный оборот, и я немного растерялся в качестве опытного заговорщика и предателя.

— Вот что, Любочка... Идемте гулять?

— Не хочу... Я останусь здесь и дождусь его. Ведь когда-нибудь он вернется из города... Вот назло вам всем и буду сидеть.

Это, очевидно, был бред сумасшедшего. Я молча взял Любочку за руку и молча повел гулять. Она сначала отчаянно сопротивлялась, бранила меня, а потом вдруг стихла и покорилась. В сущности она от усталости едва держалась на ногах, и я боялся, что она повалится, как сноп. Положение не из красивых, и в душе я проклинал Пепку в тысячу первый

раз. Да, прекрасная логика: он во всем обвинял Федосью, она во всем обвиняла меня, — мне оставалось только пожать руку Федосье, как товарищу по человеческой несправедливости.

— Куда вы меня тащите? — взмолилась Любочка, изнемогая.

— Не знаю... Войдите и в мое положение: что я буду делать с вами? Оставить вас я не могу, как это делают некоторые... Утешать — бесполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и остановились, наконец, на пустой горке, мимо которой спускалась тропинка на вокзал. Нашлась спасительная скамейка, на которую мы могли присесть. Солнце уже поднималось, — солнце холодное, без лучей. Перед нашими глазами разлеглось чухонское болото, перерезанное Финляндской железной дорогой; налево в пыльной мгле едва брезжился Петербург. Моя дама сидела безмолвно, как тень. Глаза у нее слипались, но она продолжала бороться со сном. Был момент, когда ей хотелось расплакаться, — я это видел по дрожавшим губам, — но дневной свет, видимо,

действовал на нее отрезвляющим образом.

— Бедный, где-то он провел ночь... — думала она вслух.

— Да, бедный... Черт бы его побрал!..

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Воображаю, как вы меня проклинаете в душе, — проговорила она, продолжая улыбаться. — Целую ночь нянчитесь... Я вас, кажется, бранила?

— Да... Вернее сказать, вы сами не знали, что говорили.

— Миленький, простите... Я так страдала, так измучилась... Идите, голубчик, спать, а я посижу здесь. С первым поездом уеду в Петербург... Кланяйтесь Агафону Павлычу и скажите, что он напрасно считает меня такой... такой нехорошей. Ведь только от дурных женщин бегают и скрываются...

На мой немой вопрос она сама ответила:

— Вы боитесь, что я опять приеду? Конечно, приеду, но на этот раз буду умнее и не буду лезть к нему на глаза... Хотя издали посмотреть... только посмотреть... Ведь я ничего не требую... Идите.

— Нет... Я все равно сегодня не буду спать.

— Почему?

— Я влюблен...

— Вы? Когда это случилось?

— Вчера, в восемь часов вечера...

— В Надю?

— Нет.

— Ах, да, эта высокая, с которой вы гуляли в саду. Она очень хорошенькая... Если бы я была такая, Агафон Павлыч не уехал бы в Петербург. Вы на ней женитесь? Да? Вы о ней думали все время? Как приятно думать о любимом человеке... Точно сам лучше делаешься... Как-то немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я долго бродила мимо дач... Везде огоньки, все счастливы, у всех свой угол... Как им всем хорошо, а я должна была бродить одна, как собака, которую выгнали из кухни. И я все время думала...

— О чем?

— Ведь и мы могли бы так же жить на даче с Агафоном Павлычем... Я так бы ждала его каждый день, когда он вернется из города. Он приезжает со службы усталый, сердитый, а у меня все чисто, прибрано, обед вкусный... У нас была бы маленькая девочка, которую он

обожает. Тихо, хорошо... Потом мы состарились бы, девочка уже замужем, и вдруг... Нет, это страшно! Мне представилось, что Агафон Павлыч умер раньше меня, и я хожу в трауре... Знаете, такая длинная-длинная вуаль из крепа... Переезжаю жить к дочери и все плачу, плачу... Каждый день хожу к нему на могилу, приношу цветов и опять плачу. Ведь никто не знает, какой он был хороший, добрый, как любил меня... Вы не смейтесь надо мной, Василий Иваныч. Если вы действительно любите ту девушку, так все поймете...

— Я не смеюсь.

— И вдруг ничего нет... и мне жаль себя, ту девочку, которой никогда не будет... За что? Мне самой хочется умереть... Может быть, тогда Агафон Павлыч пожалеет меня, хорошо пожалеет... А я уж ничего не буду понимать, не буду мучиться... Вы думали когда-нибудь о смерти?

— Нет, как-то не случалось.

— Значит, вы еще не любите. Если человек любит, он все понимает, решительно все, и обо всем думает... Я целые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люблю Агафо-

на Павлыча. Он хороший...

Мне опять сделалось жаль Любочку, в которой мучительно умирал целый мир и все будущее. Она была права: любовь делала ее почти умной, и она многое понимала так, как в нормальном состоянии никогда не понимала. Ее наивная философия навеяла на меня невольную грусть. В самом деле, от каких случайностей зависит иногда вся жизнь: не будь у нас соседа по комнатам «черкеса», мы никогда не познакомились бы с Любочкой, и сейчас эта Любочка не тосковала бы о «хорошем» Пепке. По аналогии я повторил про себя свою вчерашнюю встречу с Александрой Васильевной — тоже случайность и тоже... Дальше я старался ничего не думать, потому что мое солнце уже поднялось и решительный день наступил. А она, наверное, спит молодым, крепким сном и давно забыла о моем существовании...

Мы просидели на горке до первого поезда, отходившего в Петербург в восемь часов утра. Любочка заметно успокоилась, — вернее, она до того устала, что не могла даже горевать. Я проводил ее на вокзал.

— Желаю вам счастья... много счастья! — шепнула она, выглядывая из окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь от усталости. Представьте мое изумление, когда в сенях я увидел спавшего мертвым сном Пепку. Он и не думал уезжать в Петербург и, как я догадывался, весело проводил время в обществе Мелюдэ и пьяного Гамма, пока я отваживался с Любочкой. Зачем нужно было обманывать еще меня? Мне ужасно хотелось пнуть его ногой, обругать, приколотить... Меня больше всего возмущало то, что человек спал спокойно после всех тех гадостей, какие наделал в течение одного вечера, — спрятался от обманутой девушки, обманул лучшего друга... Воображаю, как Пепко хохотал и дурачился с Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

— Пепко!

Пепко не шевелился, но я видел, что он проснулся и притворяется спящим. Это была последняя ложь...

— Пепко, я тебя презираю...

Мне показалось, что, когда я отвернулся, Пепко сдержанно хихикнул. Это животное

было способно на все...

Я заснул, не раздеваясь. Это был даже не сон, а какая-то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудил осторожный стук в окно, — в окне мелькал черный зонтик, точно о переплет рамы билась крылом черная птица.

— Как вам не стыдно! — слышался голос Наденьки. — Вставайте и догоняйте нас с Шурой. Мы идем в парк.

Из-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки и самым нахальным образом подмигивала мне по адресу черного зонтика.

— Мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала... падала священная римская империя и совсем развалилась... — бормотал он, ухмыляясь.

Я ответил ему молчаливым презрением.

Глава 21

Я так торопился, что даже забыл о штиблетах и вспомнил об этом обстоятельстве только на улице, догоняя девушек. Я несся точно на крыльях. Помню, что я догнал их как раз напротив той дачи с качелями, на которой мы с Пепкой разыгрывали наш «роман девушки в белом платье». Эта девушка как раз была налицо, — она тихо раскачивалась на своей качели с книгой в руках. Мне показалось, что она с каким-то укором подняла на меня свои чудные глаза, точно я изменял ей каждым своим шагом. Но разве могло быть какое-нибудь сравнение этого ребенка с настоящей женской красотой, живым олицетворением которой являлась она, Александра Васильевна. При дневном свете она показалась мне еще лучше. Как она грациозно шла, какой рост, какое выражение лица... «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей», мелькнули у меня в голове стихи Пушкина, а бедная девушка в белом платье все бледнела и бледнела, пока не растаяла, как снегурочка.

— Вы остаетесь на целый день? — говорил

я, здороваясь с своей дамой сердца.

— Надя этого хочет... — наивно ответила она и улыбнулась, посмотрев на подругу. — Я уеду вечером, с девятичасовым поездом.

Я чуть не вскрикнул: целый день счастья! Меня эта мысль точно испугала... Целый день — это побольше вечности. Мне почему-то припомнился вычитанный где-то Пепкой анекдот о Гете, скромно признавшемся перед смертью, что он был счастлив в жизни всего четверть часа. А я буду счастлив целый день, целую вечность... Самая обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня являлась мировым событием, перед которым бледнело все остальное. Это было торжественное шествие царицы, для которой светило солнце, цветы лили свой аромат, благоговейно шептали деревья, а воздух окружал светлым облаком... Я мог только удивляться слепоте встречавшихся на дороге людей, которые упорно не хотели замечать проходившего мимо них совершенства. Несчастные, они ничего не понимали, а между тем все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мне ка-

залось, что он принадлежит мне, и я показываю его своей избраннице. Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и разными способами устраняла себя, предоставляя нам полную свободу. Наденька любила рвать цветы, хотя это и было строго воспрещено аншлагами; Наденька любила дурачиться, как козочка, и пряталась за деревьями; Наденька уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать... А я опять шел под руку с Александрой Васильевной, опять чувствовал, как она опирается на мою руку, опять что-то рассказывал, и опять она так хорошо и доверчиво улыбалась.

— Скажите, пожалуйста, как пишут романы?.. — спрашивала она. — Я люблю читать романы... Ведь этого нельзя придумать, и где-нибудь все это было. Я всегда хотела познакомиться с романистом.

Наденька поусердствовала, и я должен был фигурировать в качестве реализовавшегося романиста. Это была ложь, но в данный момент я так верил в себя, что маленькая хронологическая неточность ничего не значила, — пока я печатал только рассказики у Ивана

Иваныча «на затычку», но скоро, очень скоро все узнают, какие капитальные вещи я представлю удивленному миру. Положим, я забегал немного вперед своей славе, но важно верить в себя, в свою миссию, в свои идеалы. Одним словом, я разыгрывал роль романиста самым бессовестным образом и между прочим сейчас же воспользовался разработанным совместно с Пепкой романом девушки в белом платье, поставив героиней Александру Васильевну и изменив начало. Я прямо взял нашу вчерашнюю встречу и к ней приделал роман нашей девушки в белом платье. На мою долю выпадала выигрышная роль героя, преодолевающего очень серьезные препятствия. В сущности я делал самый бессовестный плагиат и нисколько не стеснялся. Мой герой, то есть я, высказывал Александре Васильевне все то, что я чувствовал и переживал сам. Кроме того, я не пощадил своего друга и для контраста провел параллель несчастного романа Любочки и кое-что кстати позаимствовал из беседы с ней. Под конец я сам удивлялся самому себе, то есть своей находчивости, — ведь это было целое и обстоятель-

ное объяснение в любви, замаскированное романической фабулой.

— И вы все это написали? — наивно удивлялась Александра Васильевна, окончательно убеждаясь в моем признании романиста.

— Да... то есть еще не кончил. Необходимо кое-что исправить, кое-что дополнить, вообще — докончить.

— Ах, как это интересно, Василий Иваныч...

— Когда выйдет моя книга, я преподнесу ее вам первой...

— Мне? О, я очень благодарна...

Видимо, она не догадывалась, в чем заключается суть моего будущего романа, и не узнавала себя в нарисованной мной героине. Конечно, она немножко наивна... да. Даже — как это выразиться повежливее? — почти глупа той красивой и милой глупостью, которую самые умные и самые строгие мужчины так охотно прощают хорошеньким женщинам. Увы! она никогда не получила романа девушки в белом платье, потому что он так и остался в отделе неосуществившихся добрых намерений, хотя в данном случае и сослужил мне

хорошую службу. Неужели Пепко прав, уверяя, что наши лучшие намерения никогда не осуществляются и каждый автор должен умереть, не исполнив того, что он считает лучшей частью самого себя? Только золотая посредственность довольна собой, а настоящий автор вечно мучится роковым сознанием, что мог бы сделать лучше, да и нет такой вещи, лучше которой нельзя было бы представить. Всякая форма — только жалкое приближение к авторскому замыслу...

Как это хорошо, когда чувствуешь, что она тебе верит и сам веришь себе... Именно так и было в данном случае. Александра Васильевна сама разболталась и так мило рассказывала мне разные мелочи из своей жизни.

— Вы только не смейтесь надо мной, — упрашивала она кокетливо.

— Почему вы думаете, что я буду смеяться над вами?

Она сделала серьезное лицо, посмотрела на меня и ответила с самой милой наивностью:

— Вы такой умный...

Мне оставалось только расписаться в соб-

ственной гениальности, что я сделал молчанием, хотя и смутился от собственного величия. Кажется, это уж немножко много, а главное — преждевременно. Впрочем, я так далеко зашел, что действительность совершенно тонула в целом мире вымыслов и галлюцинаций. Я уже был знаменит по той простой причине, что она шла рядом со мной и так доверчиво опиралась на мою руку. Ведь я ее вел к такому светлому будущему и вперед отдавал ей всю свою славу, всю жизнь. И вековые деревья соглашались со мной, и плывшие в небе облака, и бродившие между деревьями тени...

Наденьке, наконец, надоело разыгрывать роль доброго гения, и она заявила без церемоний:

— Господа, я хочу есть... Голодна до бессовестности.

— Что же, отлично... Мы позавтракаем в ресторанчике доброй лесной феи, она же и ундина, — согласился я. — Это отсюда в двух шагах...

У меня в кармане был всего один рубль, и я колебался, как устроиться с ним: предложить

дамам катанье на лодке или «легкий» завтрак. Наденька разрешила мои сомнения.

Мы весело отправились к доброй лесной фее, и я вперед рисовал себе этот уютный лесной уголок, который послужит приютом нашей любви, — в моем воображении она уже любила меня, и я говорил «мы». Я вперед любил этот приют и добрую лесную фею. Небольшая дачка совсем пряталась под столетними соснами.

— Вот и приют доброй лесной феи, — торжественно провозгласил я, вводя своих дам в палатку маленького садика.

Наденька уже раскрыла рот, чтобы рассмеяться, но взглянула на один из столиков, задрапированных акациями, и превратилась в немой вопрос. За столиком сидели Пепко и Любочка... Встреча была настолько неожиданна, что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, как дальние родственники. Любочка смотрела на меня торжествующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не понимал. Это был какой-то нелепый сон, и я с облаков упал прямо на землю. Пепко по присущей ему бессовестности подошел к Надень-

ке и попросил представить его «прелестной незнакомке», а я подошел к Любочке.

— Вы удивлены, да? — спрашивала она, подавая мне два пальца, и прибавила, сверкая глазами: — Ловко вы меня обманывали целую ночь, а я оказалась умнее вас. Доехала до Шувалова и сообразила все... Конечно, Агафон Павлыч должен быть дома, и вы меня все время водили за нос. Дождалась обратного поезда и вернулась... Ха-ха! Я видела, как вы погнались за своими дамами, и накрыла Агафона Павлыча. Он и не думал никуда уезжать... Я вам этого никогда, никогда не прощу!.. Вы бессовестный человек... Я даже не могла себе представить, что такие люди вообще могут быть. Вы — чудовище...

Мне ничего не оставалось, как только поднять плечи и сделать большие глаза. Я понял, что Пепко продал меня самым бессовестным образом и за мой счет вышел сух из воды.

— Вот и отлично, — повторял Пепко, потирая руки. — Мы тут позавтракаем совсем по-семейному...

Это бессовестное животное, кажется, рассчитывало на мой несчастный рубль, сохра-

няя за собой престиж любезного кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся прогулка была испорчена. В довершение всего Пепко смотрел на Александру Васильевну такими глазами, что мне хотелось «дать ему на морда», как говорил Гамм. А Пепко ничего не хотел замечать и даже подмигнул мне: дескать, знаем, что знаем. Мои дамы были недовольны обществом Любочки, к которой отнеслись почти враждебно. Недавняя непринужденность исчезла разом, и скромный завтрак прошел совсем скучно. Торжествовала одна Любочка и сама первая взяла Пепку за руку, когда мы поднялись.

Эта встреча отравила мне остальную часть дня, потому что Пепко не хотел отставать от нас со своей дамой и довел свою дерзость до того, что забрался на дачу к Глазковым и выкупил свое вторжение какой-то лестью одной доброй матери без слов. Последняя вообще благоволила к нему и оказывала некоторые знаки внимания. А мне нельзя было даже переговорить с Александрой Васильевной наедине, чтоб досказать конец моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала

для меня... Дорогие минуты летели, как птицы, а солнце не хотело останавливаться. Вечер наступал с ужасающей быстротой. Моя любовь уже покрывалась холодными тенями и тяжелым предчувствием близившейся темноты.

— Вы меня проводите на вокзал... — устало проговорила Александра Васильевна, когда вечерний чай кончился и кое-где на дачах замелькали огоньки. — Мне пора домой...

О, милая, как она была хороша, завоевывая себе несколько свободных минут. Наденька не пошла провожать, сославшись на головную боль. Она же задержала Любочку под каким-то предлогом... Мы отправились вдвоем. Я нарочно замедлял шаги, чтобы опоздать на поезд и выгадать лишний час. Мы медленно спускались с горы, болтая о каких-то пустяках, а я испытывал жуткое чувство, точно расставался с своей дамой навсегда. Бывают пророческие сны и роковые предчувствия... В то же время я чувствовал, что сегодняшний день имеет решающее значение и что он не вернется никогда, что совершилось что-то такое огромное и подавляющее и что я уже не

могу вернуться к своему прошлому. А маленькие ножки все шли вперед, к тому неизвестному будущему, которое должно было разлучить нас навсегда... Мне вдруг сделалось жаль себя, жаль за серенькое существование, за неизжитую молодость, за неудовлетворенный проблеск счастья. Ведь с ней уходила моя первая любовь, целый светлый мир, все будущее... Вот остается жить только маленькое расстояние, отделяющее нас от вокзала. Кто знает, что могло бы быть, если бы поезд опоздал, но поезда опаздывают совсем не тогда, когда это нужно. Он подошел к станции как раз в момент, когда подходили мы, так что я едва успел купить билет. Это уж второй раз сегодня я провожаю: там я рад был избавиться, а здесь готов был удержать поезд руками. У меня даже мелькнула мысль ехать провожать в город, но — увы! — в кармане оставался всего один пятачок.

— До свидания... — говорила Александра Васильевна, появляясь в окне вагона. — Не забудьте, я вас буду ждать. Непременно...

Она что-то хотела еще сказать, но поезд уже тронулся, и сказанная ею фраза улетела

на воздух.

Я возвращался домой в самом мрачном настроении, как человек, который нашел сокровище и сейчас же его потерял. Я почему-то припомнил психологию творчества, которую развивал Пепко, и горько усмехнулся. Она уже начиналась.

Глава 22

— Пепко, ты большой негодяй.

— Гм... Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй создан негодяем и не виноват, что природа создала его именно негодяем, а нехорошо то, когда люди порядочные, то есть те, которые считают себя порядочными, знаются с негодяями. Скажи мне, кто твои друзья, и так далее.

— Это игра слов, а я говорю серьезно. Самое скверное то, что ты утратил всякий аппетит порядочности. Да... Ты еще можешь смеяться над собственными безобразиями, а это признак окончательного падения. Глухой не слышит звуков, слепой не видит света, а ты не чувствуешь тех гадостей, которые проделываешь. Одним словом, ты должен женить-

ся на Любочке...

Заключение было так неожиданно, что Пепко сел на своем девственном ложе, как он называл матрац, посмотрел на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто меня так не выводило из себя, как этот дурацкий хохот. Я ненавидел Пепку в эти моменты и не скупился на дерзости. Его поведение в последнее время возмущало меня до глубины души, а теперь в особенности, потому что я весь был полон самыми возвышенными чувствами. Александра Васильевна являлась для меня мерой всех вещей, и, обличая Пепку, я думал о ней. Я был уверен, что она сказала бы то же самое, что говорил сейчас я сам.

— Послушай, время пророков миновало, — отвечал Пепко, успокоившись от хохота. — Да... Например, явись Исайя или Иеремия и начни обличать прогрессирующую современность — им бы пришлось не сладко... Да и самое слово в наше время потеряло всякую цену, мы не верим словам, потому что берем их напрокат. Слово ветхого человека было полно крови, оно составляло его органическое продолжение, поэтому оно и имело громадное

значение. Какой смысл твоего обличения? Ведь обличать имеет право только тот, кто сам не сделал ничего дурного, а ты сделаешь хуже, чем я. Если не сделал, то еще сделаешь. Вся разница между нами только в том, что я избалован женщинами... Разве я виноват?

— Женщинами? Ха-ха!.. Мелюдэ и Любочка...

— Гм... Совершенства на земле, к сожалению, нет, и опять-таки я в этом не виноват.

— Нет, уж извини: есть совершенство. Понимаешь: есть!..

Мой ответ был высказан с таким азартом, что Пепко посмотрел на меня испытующим оком, издал носовой свист и проговорил успокоенным тоном:

— По-ни-ма-ю... Мы влюблены. Что же, священная римская империя тоже была разрушена...

— Молчи, несчастный!..

Эта глупая по своему существу сцена заставила меня задуматься. Мне казалось, что Пепко был прав относительно моей предполагаемой преступности. Я даже немного покраснел, когда он высказал свою мысль, точно он

видел мои собственные сомнения. Дело было так. Проходя мимо дачи с качелями, я машинально засмотрелся на девушку в белом платье, — она была как-то особенно хороша в этот роковой момент, хороша, как весеннее утро, когда ликует один свет и нет ни одной тени. Мне показалось, что и она тоже смотрит на меня, и я почувствовал какую-то сладкую истому. Потом у меня мелькнула в голове страшная мысль: я изменял Александре Васильевне... Разве я имел право смотреть на других женщин? Продолжая мысль Пепки о моей непроявившейся преступности, я пришел в недоумение. А если бы эта девушка в белом платье полюбила меня? По-настоящему полюбила... Ведь я по своей испорченности могу думать об этом, следовательно, допускаю такую возможность. И мне не было бы неприятно... О, какое чудовище я вынашивал в собственной груди! Пепко по крайней мере действует откровенно, как откровенно лесной зверь рвет другого зверя. Он — человек минуты и растворяется без остатка в настоящем, как брошенная в стакан воды крупинка соли. Я начинал чувствовать себя погибшим чело-

веком и чувствовал, что единственное спасение — это увидать Александру Васильевну, — один ее взгляд разогнал бы угнетавшие меня призраки.

Тут явилось непреодолимое препятствие, испортившее все. Ведь не мог же я явиться к ней в своих высоких сапогах... Сделав осмотр своего сборного репортерского костюма, я пришел к печальному заключению, что он удовлетворяет еще меньше, чем сапоги. Оставался компромисс, именно — добыть чужой костюм. Гардероб Пепки находился в положении излюбленной им разрушавшейся священной римской империи и заставлял желать многого. Студенты-товарищи разъехались по домам. Одним словом, скверно, как только может быть скверно. На меня напало отчаяние. В самом деле, судьба могла бы быть немного повежливее... Я поверил свое горе Пепке, и он отнесся к нему с большим сочувствием, чем тронул меня.

— Нет, в этих сапожищах невозможно, — размышлял он, оглядывая меня. — Слава и женщины не любят, когда к ним подходят в скверных сапогах. Да... Это, так сказать, миро-

вой вопрос. Я даже подозреваю, что и священная римская империя разрушилась главным образом потому, что римляне не додумались до сапог.

— Отвяжись ты с своей римской империей!

— А она, значит, приглашала тебя к себе? Гм... Для начала недурно. Пикантная штучка...

— Не смей так говорить...

— Если взять за бока академию... — вслух думал Пепко. — Гришук выше тебя ростом, Фрей толще, Порфирыч санкюлот... гм... Ничего не выйдет, как ни верти. Молодин куда-то пропал... Да и неловко с такими франтиками амикошонствовать... Знаешь что, Вася...

Пепко повертел пальцем около лба и проговорил с авторитетом старшины присяжных заседателей:

— Тебе ничего не остается, как только кончить твой роман. Получишь деньги и тогда даже мне можешь оказать протекцию по части костюма!.. Мысль!.. Единственный выход... Одна нужда искусством двигала от века и побуждала человека на бремя тяжкое труда,

как сказал Вильям Шекспир.

Пепко вторично угадал мою мысль. Я уже думал об этом, хотя не с экономической точки зрения. У меня явилась потребность именно в такой работе, которая открывала необъятный простор фантазии. Вот единственный случай, когда можно излить на бумагу все свои чувства, все свои мысли и заставить других чувствовать и думать то же самое. Это будет замаскированная исповедь, то, чего нельзя создать никаким трудом, никакой добросовестностью. Мне припомнилась аллегорическая картина, изображавшая происхождение живописи. Южная лунная ночь. У стены стоит молодой человек и молодая девушка. Он углем вычерчивает на стене абрис ее головки. Ах, как это справедливо и верно... Ведь и я буду делать то же, но только не в области живописи, которую Гейне называет плоской ложью, а создам чудный женский образ словом. Все остальное будет только фоном, подробностями, светотенью, а главное — она, которая выйдет в ореоле царицы.

— О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человек тебя любит, — повторил я само-

му себе, принимаясь за работу с ожесточением. — Я буду достоин тебя...

Но этот порыв привел к целому ряду самых печальных открытий. Перечитав свои рукописи, я пришел к грустному заключению, что все написанное мной решительно никуда не годится, как плохая выдумка неопытного лгуна. Не было жизни, потому что не было знания жизни, и мои действующие лица походили на манекенов из папье-маше. Я только теперь понял, что придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведения, созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это такая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы набраться решимости

приступить к такой задаче. И, представьте себе, то, что называется классической литературой, самые выдающиеся произведения были написаны за много лет раньше, чем явилась критика с своим аршином. При чем тут эта критика, и как она бедна... Я много читал и нигде не нашел того, что сейчас раскрывалось перед моими глазами. Нет, неправда: в исповеди Ж. — Ж. Руссо есть одно место, где он близко подходил к истине, объясняя процесс зарождения своих произведений. Кстати, я припомнил афоризм Любочки, что влюбленный человек понимает все, как я сейчас понимал все. Да, все... Это смело сказано и может вызвать снисходительную улыбку, но это правда, и я еще раз обращаюсь к сравнению: любовь — это молния, которая всполохом выхватывает громадную картину жизни, и вы видите эту картину в мельчайших подробностях, ускользающих от внимания в обыкновенное время.

Бывают такие моменты, когда человек начинает проверять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек произво-

дит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет камня на камне. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренно обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой драгоценного металла, гарантированного природой от опасности окисления. Эту чистоту заменяла условная порядочность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. На этом скромном основании не могло развиваться в полную величину ни одно чувство, и оно появлялось на свет уже тронутым и саморазлагающимся, как новый лист растения, который развертывается из почки с роковыми пятнами начинающегося гниения. Гнилостное заражение происходило еще в зародыше. Как видите, я нисколько не обманывал себя относительно собственной особы и меньше всего верил в так называемые молодые порывы. Эта беспощадная критика имела тот смысл, что таким душевным тоном среднего

человека нельзя писать, потому что все исходит из таинственных глубин нашего чувства. Мой роман сейчас меня приводит в отчаяние, как величайшая нелепость, вылепленная с грехом пополам по чужому шаблону. Я в отчаянии швырнул свою рукопись в угол.

— Ты это что? — удивился Пепко, никогда не терявший присутствия духа и лишенный способности приходить в отчаяние. — Малодушие?.. Разочарование в собственной особе?

Я молчал и только смотрел на него злыми глазами. Эта самодовольная посредственность не могла ничего понять, так что слова были излишни. В Пепке я ненавидел сейчас самого себя.

— Мы желали быть великими... гм... — думал вслух Пепко, начиная шагать по конуре. — Желание по своему существу довольно скромное, как всякое стремление к совершенству, прогрессу и еще черт знает к чему-то зазвонистому, сногсшибательному. Хе-хе... Прежде чем человек что-нибудь сделал, он разрешает вопрос о своей правоспособности на таковое величие и геройство. Очень недурно и даже мило... Настоящий большой талант

вне всякой условной меры, вернее — он сам мера самому себе. Все эти рамочки, шаблоны и трафареты существуют только для жалкой посредственности... Настоящий большой человек никогда не будет думать, есть у него талант или нет, как не думает об этом река, когда в весеннее половодье выступает из берегов, как не думает соловей, который поет свою любовь. Вышло одно, именно — это томящая потребность выложить свою душу, охватить мир, подняться вверх... Даже самая добродетель теряет здесь всякую цену, потому что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохновенье, высокий порыв.

— Река, берущая начало из нечистого источника, не может быть чистой, то есть утолять жажду.

— Все это прописная мораль, батенька... Если уж на то пошло, то посмотри на меня: перед тобой стоит великий человек, который напишет «песни смерти». А ведь ты этого не замечал... Живешь вместе со мной и ничего не видишь... Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой монетой...

— Твое величие совершенно недоступно...

невооруженному глазу.

— В тебе говорит зависть, мой друг, но ты еще можешь проторить себе путь к бессмертию, если впоследствии напишешь свои воспоминания о моей бурной юности. У всех великих людей были такие друзья, которые нагревали свои руки около огня их славы... Dixi. [111] Да, «песня смерти» — это вся философия жизни, потому что смерть — все, а жизнь — нуль.

Глава 23

Мое отчаяние продолжалось целую неделю, потом оно мне надоело, потом я окончательно махнул рукой на литературу. Не всякому быть писателем... Я старался не думать о писаной бумаге, хоть было и не легко расставаться с мыслью о грядущем величии. Началась опять будничная серенькая жизнь, походившая на дождливый день. Распрощавшись навсегда с собственным величием, я обратился к настоящему, а это настоящее, в лице редактора Ивана Ивановича, говорило:

— Что вы пишете мелочи, молодой человек? Вы написали бы нам вещицу побольше...

Да-с. Главное — название. Что там ни говори, а название — все... Французы это отлично, батенька, понимают: «Огненная женщина», «Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя заперло дух от одной обложки...

Первый месяц своей дачной жизни мы с Пепкой как-то совсем порвали и с «академией» и с Петербургом. Но «необходимость жевать» напомнила нам о том и о другом. Буквы а, е и о, которые Пепко называл своими кормилицами, давали ничтожный заработок, репортерской работы летом не было, вообще приходилось серьезно подумать о том, что и как жевать. А тут еще Любочка, которая начала систематически донимать Пепку. Она являлась ровно через день, как на службу, и теперь уже не стеснялась моим присутствием, чтобы разыгрывать сцены ревности, истерики и даже обмороки. Пепко только скрипел зубами от подавленной ярости, но ничего не мог поделать. При появлении Любочки я обыкновенно уходил, коварно предоставляя друга его собственной судьбе. Возвращаясь, я

заставал самую мирную картину: Пепко обладал секретом успокаивать Любочку. Мне казалось, что он пускал в ход тот же маневр, как хозяин моей первой квартиры. Он заговаривал Любочку пустыми словами. Она была счастлива, как поденка, и уезжала домой с улыбкой на лице. Пепко провожал ее тоже с улыбкой, а когда поезд отходил, впадал в моментальную ярость и начинал ругаться даже по-чухонски.

— Она из меня все жилы вытянула... Что я буду делать? Отчего я не турецкий султан и не могу бросить ее в воду, зашив предварительно в мешок? Отчего я не могу ее заточить куда-нибудь в монастырь, как делалось в доброе старое время? Проклятие вам, все женщины, все, все... Я чувствую, что меня оставляют последние силы, и я могу только воскликнуть с милашкой Нероном: какой великий артист погибает!.. Проклятие... и еще раз проклятие... О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это притворство, это мертвая петля, это отрава...

— Послушай, ты говоришь, как старинный византийский хронограф...

— Женщина — это воплощение всяческой неправды и греха. Она создана на нашу погибель, вот эта самая милая женщина... И ведь какими детскими средствами они нас пугают — смешно сказать. Любочка твердит одно: утоплюсь, отравлюсь, брошусь под поезд. Нарочно читает газеты, вырезывает из них подходящие случаи самоубийства и преподносит их мне в назидание. Как это тебе понравится? И ведь знаю, отлично знаю, что не отравится и не утопится, а все-таки как-то жутко... Черт ее знает, что ей взбредет в башку! Благодарю покорно... Оставит еще записку: «Умираю от несчастной любви к такому-то студенту». Все газеты перепечатают, потом носа никуда нельзя будет показать... О, женщины, проклятие вам! Недаром в Китае считается верхом неприличия спросить почтенного человека о его жене или дочерях...

— Послушай, Пепко, ведь это прекрасная тема...

— Тема? Тьфу... Знаешь, чем все кончится: я убегу в Америку и осную там секту ненавистников женщин. В члены будут приниматься только те, кто даст клятву не говорить

ни слова с женщиной, не смотреть на женщину и не думать о женщине.

— Бедные женщины!.. А я все-таки воспользуюсь твоей темой и даже название придумал: «Роман Любочки».

— А, черт, все равно... Катай Ивану Иванычу. Только название нужно другое... Что-нибудь этакое, понимаешь, забористое: «На волосок от погибели», «Бури сердца», «Тигр в юбке». Иван Иваныч с руками оторвет...

— Да, но... гм... Как-то претит, Пепко...

— Э, вздор! Печатаясь у Ивана Иваныча, никто не мешает тебе сделаться Шекспиром... Это даже полезно, потому что расширяет горизонт. Необходимо пройти школу...

Пепко умел возвышаться до настоящего красноречия, как я уже говорил, но в данном случае его слова для меня были пустым звуком. Конечно, я писал кое-какие мелочи для Ивана Иваныча, но здесь шел вопрос о «большой вещице», а это уже совсем другое дело. У меня уже составился целый план настоящего романа во вкусе Ивана Иваныча, и оставалось только осуществить его. Но даже в замысле мне все это казалось жалким преда-

тельством, почти изменой, потому что все это было только сделкой и подлаживаньем. Писать для настоящего большого журнала и писать для Ивана Иваныча — вещи несоизмеримые, и я вперед чувствовал давление невидимой руки. С этой именно точки зрения забракованный мною собственный роман показался мне особенно милым. Да, он выдуман, он вместо живых лиц дает манекенов, он не художественное произведение вообще, но зато он писался вполне свободно, писался для избранной публики, писался вообще с тем подъемом духа, который только и делает автора. А от Ивана Иваныча веяло спертым воздухом мелочной лавочки и ремесленничеством, которое сводится на угождение публике. Тут не до идей и высоких помыслов... Я вперед предвидел, как от такой работы будет понижаться мой собственный душевный уровень, как я потеряю чуткость, язык, оригинальность и разменяюсь на мелочи. Вообще скверно. И это с самого начала, а что же будет потом?

Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, две-три удачных сце-

ны, две-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел вперед этот тернистый путь. Что же, у всякого своя дорога... Ведь музыкант, прежде чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает еще ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный период, который только постепенно сменяется тем своим, что одно только и делает автора. В этом своем, как бы оно мало ни было, заключается весь автор; разница только в степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер-офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня

довольно бессвязно, путались, сбивали друг друга и производили тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать... Ждать было нечего. Скрепя сердце я принялся за работу для Ивана Иваныча. Помню, как мне было совестно писать: «Роман в трех частях». Название пока еще не выяснилось, вернее — было несколько названий. Я старался писать потихоньку от Пепки, когда он пропадал в «Розе» или отправлялся с Любочкой гулять в парк. Стоял уже июль. Погода была жаркая, и работа туго подвигалась вперед. Мне все казалось, что я пишу не то, что следует, и начинаю торговать собой. Это было мучительное сознание, которое отравляло всю работу. Предо мной неотступно стоял Иван Иваныч с своей жирной улыбочкой и поощрительно говорил: «Ничего, уйдет на затычку»... А за ним стояла громадная толпа, которая требовала закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки. Я начинал ненавидеть и эту толпу и самого Ивана Иваныча, которые совместно давили меня. Ведь, кажется, можно было написать хорошую «вещицу» и для этой толпы, о которой

автор мог и не думать, но это только казалось, а в действительности получалось совсем не то: еще ни одно выдающееся произведение не появлялось на страницах изданий таких Иванов Иванычей, как причудливая орхидея не появится где-нибудь около забора. Всякому овощу свое место и свое время.

Раз я сидел и писал в особенно унылом настроении, как пловец, от которого бежит желанный берег все дальше и дальше. Мне опротивела моя работа, и я продолжал ее только из упрямства. Все равно нужно было кончать так или иначе. У меня в характере было именно упрямство, а не выдержка характера, как у Пепки. Отсюда проистекали неисчислимые последствия, о которых после.

Итак, я сидел за своей работой. В раскрытое окно так и дышало летним зноем. Пепко проводил эти часы в «Розе», где проходил курс бильярдной игры или гулял в тени акаций и черемух с Мелюдэ. Где-то сонно жужжала муха, где-то слышалась ленивая перебранка наших милых хозяев, в окно летела пыль с шоссе.

— О юноша, который пренебрег радостями

земли и предался сладкому труду, — раздался в окне знакомый голос.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигивающее лицо Порфира Порфирыча. Он был, по обыкновению, навеселе, причмокивал и топтался на месте. Из-за его спины заглядывали в мое окно лица остальных членов «академии». Они были все тут налицо, и даже сам Спирька с его красным носом.

— Господа, пожалуйте... — приглашал я, пряча свою рукопись.

Компания ввалилась в нашу хибарку и наполнила все пространство, так что нечем сделалось дышать.

— Ото дворюга... — хрипло басил Гришук, который чуть не доставал головой потолка. — А где Пепко, сучий сын? Уехал и адреса не оставил, а мы же сами нашли.

— Не в этом дело... — бормотал Селезнев. — Мы хотели подышать свежим воздухом, как это делают теперь все порядочные люди, и сделать вам сюрприз. Адрес-то я разыскал... Зашел к Федосье и разыскал. Там еще познакомился с некоторой ученой девицей, которая тоже собирается к вам в гости.

Говорит, что ее приглашал Пепко. А впрочем, не в этом дело...

Селезнев протянул сжатый кулак, и я понял, что у него есть деньги и что он опять предлагает мне братски разделить их.

— Что же мы будем здесь сидеть зря? — заговорил Спирька, вытирая свою рожу шелковым платком. — Мы ведь приехали подышать воздухом... Где у вас здесь воздух-то полагается?

Можно себе представить приятное изумление Пепки, когда вся «академия» ввалилась в садик «Розы». Он действительно гулял с Мелюдэ, которая при виде незнакомых мужчин вдруг почувствовала себя женщиной, взвизгнула и убежала.

— Это что? — спрашивал Спирька, провожая глазами убегавшую даму. — Ах, нехорошо, молодой человек, и даже весьма вредно... Ужо вот маменьке напишу, какую вы здесь тень наводите.

Дальнейшие события последовали в обычном порядке. Явился «человек» с салфеткой, явилась бутылка водки, бутерброды, солянка, ботвинья и т. д. Фрей был, по обыкновению,

молчалив, молча пил рюмку за рюмкой и молча сосал свою трубочку. Спирька раскраснелся, хлопал всех по плечу и предлагал всем денег. Гришук впал в тяжелое настроение, которое им овладевало после десятой рюмки. Селезнев причмокивал, бормотал, подмигивал и все носился с своим кулаком, в котором оказалась зажатой «красная бумага», то есть десять рублей. Пепко был на высоте призвания и распоряжался в качестве тароватого хозяина. Все равно Спирька заплатит за всех. У меня так шумело в голове, и я был рад, что опять вижу «академию». Люди в сущности очень хорошие... Настоящее веселье началось с появлением Гамма, которого Пепко отрекомендовал как своего лучшего друга.

— Ну, немецкая фигура, показывай свой воздух... — заплетавшимся языком приставал к нему Спирька. — Тут была эта штучка... Ах, развей горе веревочкой!..

День промелькнул незаметно, а там загорелись разноцветные фонарики, и таинственная мгла покрыла «Розу». Гремел хор, пьяный Спирька плясал вприсядку с Мелюдэ, целовал Гамма и вообще развернулся по-купечески.

Пьяный Гришук спал в саду. Бодрствовал один Фрей, по прежнему пил и по прежнему сосал свою трубочку. Была уже полночь, когда Спирька бросил на пол хору двадцать пять рублей, обругал ни за что Гамма и заявил, что хочет дышать воздухом.

— Жена спросит... где был? Ну, а я скажу... ежели я дышал...

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улице, то есть на шоссе. Подняли даже Гришука, который только мотал головой. Пепко повел компанию через Второе Парголово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и мирные обители огласились неистовым ревом. Впереди шел Селезнев, выкидывая какие-то артикулы, как тамбур-мажор. Помню, как мы поровнялись с дачей, где жила «девушка в белом платье». В мезонине распахнулось окно, в нем показалось испуганное девичье лицо и сейчас же скрылось...

«Роман девушки в белом платье» был кончен.

Глава 24

Эту главу я мог бы назвать: «Пробуждение льва», как Пепко называл тот момент, когда просыпался утром.

— Мне кажется, что я только что родился, — уверял он, валяясь в постели. — Да... Ведь каждый день вечность, по крайней мере целый век. А когда я засыпаю, мне кажется, что я умираю. Каждое утро — это новое рождение, и только наше неисправимое легкомыслие скрывает от нас его великое значение и внутренний смысл. Я радуюсь, когда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей крови, что живу и хочу жить... Ведь так немного дней отпущено нам на долю. Одним словом, пробуждение льва...

Рассуждения, несомненно, прекрасные; но то утро, которое я сейчас буду описывать, являлось ярким опровержением Пепкиной философии. Начать с того, что в собственном смысле утра уже не было, потому что солнце уже стояло над головой — значит, был летний полдень. Я проснулся от легкого стука в окно и сейчас же заснул. Стук повторился. Я с

трудом поднял тяжелую вчерашним похмельем голову и увидал заглядывавшее в стекло женское лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

— Пепко, вставай... К тебе.

— К черту... — мычал Пепко.

Он лежал на полу в самой растерзанной позе, как птица, которую раздавило колесом.

— Пепко, это свинство.

Пепко сел, покачал похмельной головой и, взглянув в окно, только развел руками. Он узнал медичку Анну Петровну. Я вчера совершенно забыл предупредить его, что она собирается к нам.

— Голубушка, Анна Петровна, подождите сущую малость, — взмолился Пепко, вскакивая горошком. — Вот так фунт!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положения, кроме жестокого похмелья, заключалась главным образом в том, что даже войти в нашу избушку не было возможности: сени были забаррикадированы мертвыми телами «академии». Окончание вчерашнего дня пронеслось в очень смутных сценах, и я мог только удивляться, как попал к нам немец

Гамм, которого Спирька хотел бить и который теперь спал, положив свою немецкую голову на русское брюхо Спирьки.

— Господа, вставайте... — сделал я попытку разбудить.

Ответил только один голос Спирьки, проговорив в изнеможении:

— Испить бы... Все нутро горит.

Потом голос прибавил умоляющим тоном:

— Где я?

В сенях было темно, и Спирька успокоился только тогда, когда при падавшем через дверь свете увидел спавшего Фрея, Гришука и Порфира Порфирыча. Все спали, как зарезанные. Пепко сделал попытку разбудить, но из этого ничего не вышло, и он трагически поднял руки кверху.

— Что я буду делать? О, что я буду делать?.. Это какой-то свиной хлев, а не жилище порядочных людей. Нечего сказать, товарищи...

— Ты иди сейчас с Анной Петровной гулять в парк, — советовал я, — а я тем временем все устрою. Ты потом найдешь нас в «Розе»...

— Но ведь у меня башка трещит, как у чер-

та... Я ничего не понимаю, наконец. О, несчастный юноша!..

— Ничего, на свежем воздухе оправишься...

— Я чувствую себя свиньей, винной бочкой... Нет ли хоть нашатырного спирта?

— Ступай, ступай... Анна Петровна ждет. Оказывается, что ты сам приглашал ее в гости...

Большего наказания для Пепки нельзя было придумать. Я в окно поздоровался с гостьей и сказал, что Пепко сейчас выйдет. Анна Петровна сегодня выглядела свежее обыкновенного и казалась такой миловидной. В виде уступки летнему сезону на черной касторовой шляпе у нее был неумело прицеплен какой-то сиреневый бант. Вот посмеялась бы Наденька над этим наивным украшением, — она была великая мастерица по части дамских туалетов.

— К нам сейчас нельзя войти... — сбивчиво объяснял я. — Дача у нас крошечная, а вчера к нам приехали из города гости...

— А, понимаю, — протянула Анна Петровна одним звуком, и потрепанный черный

зонтик в ее руке сделал нетерпеливое движение. — Я приехала, кажется, не во-время.

— Вы не можете приехать не во-время, — галантно заявил Пепко, показываясь в калитке. — Я вас давно поджидал... погода стоит отличная...

Анна Петровна с печальной улыбкой посмотрела на его измятое лицо, на опухшие красные глаза и как-то брезгливо подала свою маленькую худую ручку.

— Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна...

— Отлично... Я так давно не дышала свежим воздухом.

Пепко подошел ко мне и прошептал:

— Кажется, нам теперь лучше не ходить по Второму Парголову после вчерашнего концерта?

— Ступай в парк Третьим Парголовым... Нам теперь вход во Второе Парголово закрыт навсегда.

Этот вопрос Пепки поднял в моей памяти яркую картину нашего вчерашнего безобразия. Это было не теоретическое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вторым

Парголовым все кончено... Что подумала вчера о нас эта милая девушка в белом платье? Нет, это ужасно... Идет орава пьяных людей и горланит песни. Так могли сделать пьяные дворники, дачный мужик, чухонцы, возвращающиеся из города... И в числе этих забулдыг и трактирных завсегдатаев идет будущий русский писатель? О, он никогда не будет писателем... Слышите, девушка в белом платье: никогда! Меня охватило такое отчаяние, что я готов был расплакаться, как ребенок. Неужели это был я? Где же разум, характер, совесть, где самая простая порядочность? Достаточно было приехать пьяному купцу, книжнику, чтобы мы все напились, как сапожники. Обидно, возмутительно, несправедливо... И как должна нас презирать вот эта серая девушка Анна Петровна, вся такая чистенькая, светлая и как-то печально-серьезная. Она явилась живой совестью нашего безобразного поведения... Об Александре Васильевне я старался не думать: это было святотатством.

— Послушайте, а где моя красная бумага? — умоляюще спрашивал хриплым голосом проснувшийся Селезнев.

Он шарил около себя руками и приходил в отчаяние: деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этот случай рассмешил Спирьку до слез.

— Ах, Порфирыч, жаль мне тебя... Вот тебе и несгораемый шкап! Ошибку давал...

Старик вскочил, оделся и побежал в парк разыскивать потерянные деньги, а Спирька лежал и хохотал.

— Говорил вчера: отдай мне на сохранение... Ах, прокурат, прокурат!.. Ну, да деньги дело наживное: не радуйся — нашел, не тужи — потерял.

Через час вся компания сидела опять в садике «Розы», и опять стояла бутылка водки, окруженная разной трактирной снедью. Все опохмелялись с каким-то молчаливым ожесточением, хлопая рюмку за рюмкой. Исключение представлял только один я, потому что не мог даже видеть, как другие пьют. Особенно усердствовал вернувшийся с безуспешных поисков Порфир Порфирыч и сейчас же захмелел. Спирька продолжал над ним потешаться и придумывал разные сентенции.

— Может быть, бедный человек нашел

твои десять целковых, ну, богу помолится за тебя... Все же одним грехом меньше.

— Не в этом дело... гм... последние были.

— А я так делаю: постоянно молю бога, чтобы самому кого не обидеть, а ежели меня кто обидит — мне же лучше. Так-то, малиновая голова...

Гришук и Фрей упорно молчали, как люди, которые шли на что-то с отчаянной решимостью.

— Эй ты, зебра полосатая, еще ейн фляш! — приказывал Спирька трактирному человеку и хохотал: слово «зебра» ему казалось очень смешным.

«Академия» была уже на первом взводе, когда появился Пепко в сопровождении своей дамы. Меня удивила решимость его привести ее в этот вертеп и отрекомендовать «друзьям». По глазам девушки я заметил, что Пепко успел наговорить ей про «академиков» невесть что, и она отнеслась ко всем с особенным почтением, потому что видела в них литераторов.

— Зачем ты затащил ее сюда? — журил я Пепку.

— Во-первых, дома у нас нет ни чаю, ни сахару, во-вторых, у меня башка трещит с похмелья, а дома ни одной капли водки, и в-третьих... да, в-третьих...

Пепко прищурил один глаз, покривил лицо и проговорил с особенной таинственностью, точно сообщил секрет величайшей важности:

— Я — несчастный человек, и больше ничего...

— Анна Петровна влюблена в тебя? — предупредил я исповедь.

— И даже очень... Три раза сказала, что скучает, потом начала обращать меня на путь истины... Трогательно! Точно с младенцем говорит... Одним словом, мне нельзя сказать с молоденькой женщиной двух слов, и я просто боялся остаться с ней дольше с глазу на глаз.

— Боялся, что она бросится к тебе на шею? Ах ты, шут гороховый...

Воображаю, как вознегодовала бы Анна Петровна, если бы только подозревала мысли Пепки. Мне вчуже было совестно за нее.

— Вы уж нас извините, барышня, — оправдывался Спирька за всех. — Человек не ка-

мень, в другой раз и опохмелиться захочет... Вышла у нас вчера небольшая ошибочка. Я так полагаю, что это не иначе, как от свежего воздуху. Ошибёт человека, ну, он и закурит...

Девушка наскоро выпила стакан чаю и начала прощаться. Она поняла, кажется, в какое милое общество попала, особенно когда появилась Мелюдэ. Интересно было видеть, как встретились эти две девушки, представлявшие крайние полюсы своего женского рода. Мелюдэ с нахальством трактирной гетеры сделала вид, что не замечает Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

— Я в первый раз вижу так близко этого сорта женщину... — говорила Анна Петровна с своей больной улыбкой. — Какая она красивая... Мне очень было интересно посмотреть на нее. Зачем вы меня увели?

— Нет, Анна Петровна, это не годится... Да и интересного мало. Лучше я вам расскажу...

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней по пятам гналась красивая тень этой жертвы общественного темперамента.

Появление «академии» имело роковое значение в нашем летнем сезоне, потому что по-

служило поворотным пунктом. Приходилось отсиживаться в своей избушке. На прогулки я выходил или ранним утром, или поздним вечером. Мне казалось, что все указывают на нас пальцами. Ничего не оставалось, как углубиться в роман для Ивана Иваныча, что я и делал. Правда, что эта роль падшего ангела доставалась нелегко, но человек может привыкнуть ко всему. Вообще было скверно и гадко на душе, и я долго не мог забыть нашей дикой прогулки по Второму Парголову. Специально для Пепки этот день принес некоторые специальные огорчения. Оказалось, что Анна Петровна приезжала с специальной миссией завести переговоры с Пепкой относительно Любочки, о положении которой она знала от Федосьи. Первая неудача не остановила медичку, и она явилась к нам вторично, но на этот раз вместо «академии» столкнулась с самой Любочкой, встретившей ее крайне враждебно, как явную соперницу. Произошла пренелепая сцена, причем Пепко очутился в положении свиньи, которую палят на огне со всех сторон.

— Вас кто просил заступаться за меня? —

наступала Любочка на Анну Петровну с каким-то бабьим азартом. — Это мое дело...

— Да ведь я в ваших же интересах хотела поговорить с Агафоном Павловичем...

— Покорно благодарю... Знаю я, какие у вас интересы. Отбить хотите у меня Агафона Павловича, вот и весь сказ... Меня не проведете. А еще студентка!..

— Послушайте, вы забываетесь...

— Нет, это вы забываетесь и считаете меня круглой дурой. Не беспокойтесь, живая не дамся в руки. Не таковская... Самой дороже стоит. Я ведь не посмотрю, что вы ученая, и прямо глаза выцарапаю... да. Я в ваши дела не мешаюсь: любите, кого хотите, а меня оставьте.

Дальше последовала непритворная истерика, угрозы по неизвестному адресу и вообще скандал в благородном семействе. Положение Пепки было самое отчаянное, и он молча скрежетал зубами.

— Значит, мне остается только уходить? — закончила сцену Анна Петровна, обращаясь к Пепке. — Я вступилась в это дело именно потому, что имею несчастие принадлежать к од-

ной с вами корпорации, и могу только пожалеть...

— И уходите, и не нужно!.. — голосила Любочка. — Жениха вы себе ищете, вот что... Да не туда попали. Адрес не тот...

В сущности своим неистовым поведением Любочка спасла Пепку в глазах Анны Петровны.

— Это ужасно... ужасно... — повторяла она, когда я провожал ее на вокзал.

— Да, и не совсем красиво...

— И вы можете так спокойно говорить об этом? — возмущалась Анна Петровна уже по моему адресу. — Какая испорченность...

— Будемте справедливы, Анна Петровна: при чем же я-то тут? Поставьте себя на мое место. Вообще самая грустная ошибка.

— Хороша ошибка!.. И такая женщина... Нет, скажите мне, что могло их связать?

При всем желании дать основательный ответ на этот наивный вопрос, я только должен был пожать плечами. Мы говорили на двух разных языках.

Глава 25

Наш летний сезон закончился «историей серого человека», о которой я и расскажу здесь, хотя и приходится несколько забежать вперед.

Вторая половина нашего дачного сезона прошла довольно скучно. Мы редко показывались из дома и вели жизнь отшельников. Не думаю, что этим мы исправили свою репутацию, которую, как известно, достаточно потерять всего один раз. Пепко был особенно мрачен и отдыхал только в «Розе». Даже периодические нападения Любочки уже потеряли свой острый характер и, кажется, начинали надоедать ей самой. Она теперь ревновала Пепку к Анне Петровне, упорно и несправедливо, как это умеют делать только безнадежно влюбленные женщины.

— Черт возьми, она наводит на меня дурные мысли! — ругался Пепко, напрасно стараясь рассердиться. — Так я и в самом деле могу влюбиться в Анну Петровну... Она мне даже начинает нравиться. Я так не люблю, когда женщина первая начинает подавать репли-

ки... Это мое несчастье, что женщины не могут видеть меня равнодушно...

— У тебя просто расстроенное воображение, Пепко. Могу тебя уверить, что твоя единственная победа — это Любочка...

Я начинал вообще замечать какую-то перемену в настроении Пепки. Отдавая должную дань концу лета, он часто принимал задумчивый вид и мурлыкал про себя:

... От ликующих,
Праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведя меня в стан погибающих
За великое дело любви.[112]

Мне лично было как-то странно слышать эти слова именно от Пепки с его рафинированным индиферентизмом и органическим недоверием к каждому большому слову. В нем это недоверие прикрывалось целым фейерверком каких-то бурных парадоксов, афоризмов и полумыслей, потому что Пепко всегда держал камень за пазухой и относился с презрением как к другим, так и к самому себе.

Начались дождливые дни. Дунул холод-

ный ветер. Пожелтевшие листья засыпали аллеи парка. По усвоенному маршруту я почти ежедневно обходил все те места, которые казались мне освященными невидимым присутствием Александры Васильевны. Да, она проходила здесь, садилась отдохнуть, а сейчас холодный ветер точно отпевал промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это счастье? Оно начинало казаться мне мифом, выдумкой, плодом воображения... Но вот эти сосны и ели, которые видели ее, — значит, счастье было. Мое паломничество заканчивалось обыкновенно приютом доброй феи, она же и ундина. Помню, как мы подходили с Пепкой к этому приюту в дождливый и холодный осенний день. Ставни дачи были закрыты, в садике неизвестно откуда появились кучи сора, и на калитке была прилеплена бумажка с надписью: «ресторан закрыт». Пепко перечитал несколько раз эту бумажку, вздохнул и проговорил:

— Это нам повестка: пора удирать с дачи. На днях Мелюдэ тоже уезжает... Как будто даже чего-то жаль. Этакое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а в сущности наплевать...

Я молчал, испытывая такое же подлое и слезливое чувство, — оно появилось с первым желтым листом.

Кстати, вместе с сезоном кончен был и мой роман. Получилась «объемистая» рукопись, которую я повез в город вместе с остальным скарбом. Свою работу я тщательно скрывал от Пепки, а он делал вид, что ничего не подозревает. «Федосьины покровы» мне показались особенно мрачными после летнего приволья.

— Это же удивительно, что на всем земном шаре нигде не нашлось места подлее, — ворчал Пепко. — Где-то синеет южное небо, где-то плещет голубая морская волна, где-то растут пальмы и лотосы, а мы должны пропадать в этой подлой дыре... И ведь это только так кажется, что все это пока, так, до поры до времени, а настоящее еще будет там, впереди, — ничего не будет, кроме деликатной перемены одной дыры на другую. Тьфу! Я вообще чувствую себя заживо погребенным, вроде шильонского узника. О, проклятие несправедливой судьбе!

Федосья встретила нас довольно холодно, а

потом начала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. Анна Петровна по прежнему жила в своей каморке и по прежнему умела оставаться незаметной. Остальной состав жильцов возобновился почти в прежнем виде, за исключением Горгедзе, который кончил курс и уехал к себе на Кавказ. Да, все было по прежнему, как это умеет делать только скучное, бесцветное и вялое, — всякая энергия выражается переменами в том или другом смысле. «Федосьины покровы» таким образом являлись мерой своих обитателей. Все эти грустные мысли являлись в невольной связи с открывавшимся из нашего окна ландшафтом забора, осенним дождем и каким-то унынием, висевшим в самом воздухе.

В одно непрекрасное утро я свернул в трубочку свой роман и отправился к Ивану Иванычу. Та же контора, тот же старичок секретарь и то же стереотипное приглашение зайти за ответом «недельки через две». Я был уверен в успехе и не волновался особенно. «Недельки» прошли быстро. Ответ я получил лично от самого Ивана Иваныча. Он вынес «объемистую рукопись», по привычке, как ку-

пец, взвесил ее на руке и изрек:

— А ведь вещица-то не годится, молодой человек...

— Как не годится, Иван Иваныч!..

— А так... Вы знаете, что по существу дела мы не обязаны отвечать, а просто не подходит, и все тут. У вас удачнее маленькие рассказики...

У меня как-то вдруг закружилась голова от этого ответа. Пропадало около четырехсот рублей, распланированных вперед с особенной тщательностью. Ответ Ивана Иваныча прежде всего лишал возможности костюмироваться прилично, то есть иметь приятную возможность отправиться с визитом к Александре Васильевне. В первую минуту я даже как-то не поверил своим ушам.

— Да, не годится, — добродушно тянул Иван Иваныч, как хирург, который по всем правилам науки отрезывает голову живому человеку. — Приносите маленькую вещицу — напечатаю с удовольствием.

Это был вообще страшный удар. С возвращенной рукописью я отправился прямо в портерную, где заседала «академия». Налицо

оказался один Фрей. Он молча выслушал меня и, не выпуская трубки, решил:

— Что-нибудь неспроста... Я разузнаю... Хотите пива?

Я чувствовал только одно, что вполне заслужил такой афронт: сама судьба карала за допущенный компромисс. Да, есть что-то такое, что справедливее нас.

Через несколько дней Фрей мне сообщил все «неспроста».

— У вас есть враг... Он передал Ивану Иванычу, что вы где-то говорили, что получаете с него по десяти рублей за каждого убитого человека. Он обиделся, и я его понимаю... Но вы не унывайте, мы устроим ваш роман где-нибудь в другом месте. Свет не клином сошелся.

— Ах, делайте, что хотите! Мне решительно все равно...

Это равнодушие, кажется, понравилось Фрею, хотя он по привычке и не высказал своих чувств. Он вообще напоминал одного из тех лоцманов, которые всю жизнь проводят чужие суда в самых опасных местах и настолько свыкаются с своим ответственным и рискованным делом, что даже не чувствуют

этого.

Итак, с романом было все кончено. Впереди оставалось прежнее репортерство, мыканье по ученым обществам, вообще мелкий и малопроизводительный труд. А главное, оставалась связь с «академией», тем более что срок запрещения «Нашей газеты» истек, и машина пошла прежним ходом.

Мысль об Александре Васильевне не оставляла меня все время. Я с ней ложился и с ней вставал. Весь вопрос опять сводился на то, как явиться к ней «оригиналом». Я готов был продать душу черту, чтобы достать приличный костюм, и делал отчаянные попытки в этом направлении, которые, к сожалению, не привели ни к чему. Подходящего костюма не нашлось ни у одного из товарищей, то есть отдельные подробности находились, но из них еще не получалось приличного целого. Положение, во всяком случае, получалось трагикомическое, и я не поверил своей тайны даже Пепке. Все равно он ничего бы не понял...

Здесь именно мне приходится забежать вперед, к февралю месяцу, когда в клубе ху-

дожников, существовавшем в Троицком переулке, устраивался студенческий бал. У меня в этот вечер было заседание в Техническом обществе, но я предпочел отправиться на бал, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых репортеров и от них позаимствовать что-нибудь для отчета. Вопрос о костюме разрешился тем, что я достал у одного из товарищей летнюю серую пару. Никогда я не забуду этого костюма... Ничтожное по своей сущности стремление быть одетым, как другие, отравило мне весь вечер. Мне казалось, что трехтысячная толпа смотрит на одного меня, и все улыбаются, поглядывая на «серого человека». Чувство жуткое и неприятное, особенно когда все одеты во фраки и сюртуки. Я уныло бродил из залы в залу, тщетно отыскивая другого «серого человека». Как назло, такого alter ego не оказалось, и я опять чувствовал, что все смотрят на меня. Глупое чувство, нелепое, но оно меня мучило... В довершение всего встречаю Александру Васильевну, которая шла под руку с каким-то франтиком во фраке. Она сейчас же оставила его руку и обратилась ко мне с упреком:

— И вам не совестно? Нисколько?.. А я-то ждала вас...

— Александра Васильевна, я был серьезно болен, — соврал я с самым серьезным лицом.

— А как же Надя мне говорила, что вы здоровы и просто не хотите быть у меня?.. Вы просто бессовестный человек...

Она, кажется, еще никогда не была так красива, как сейчас. И опять в неизменном черном шелковом платье, еще сильнее вытенявшем матовую белизну кожи. Она так просто взяла под руку «серого человека» и пошла по залам. Это уже было геройство, и я чувствовал себя на седьмом небе. Да, она была красива, настолько красива, что толпа почтительно расступалась перед ней, провожая нас почтительным шепотом. «Серый человек» шел под руку с признанной царицей бала и позабыл все на свете... Она о чем-то расспрашивала, он что-то отвечал, сознавая только одно, что она опять около него, цветущая, красивая, чудная, восхитительная, как греза поэта. Она опять смеялась, а «серый человек» держал себя с таким непринужденным видом, точно ему было все равно, или,

вернее сказать, вся трехтысячная толпа превратилась в таких же серых человеков. Свою смелость «серый человек» довел до того, что пригласил даму на кадриль, каковая и была исполнена визави с Пепкой, танцевавшим с Анной Петровной.

— Трогательная картина, — шепнул мне Пепко, выделывая solo во второй фигуре. — Похоже на семейную радость.

Анна Петровна с каким-то печальным изумлением смотрела на мою даму и участливо улыбалась мне.

— Какая красавица... — проговорила она, когда в шестой фигуре перешла в мои объятия. — Это даже несправедливо!..

После танцев Александра Васильевна захотела пить, и я был счастлив, что имел возможность предложить ей порцию мороженого. Мы сидели за мраморным столиком и болтали всякий вздор, который в передаче является уже полной бессмыслицей. Ее кавалер демонстративно прошел мимо нас уже три раза, но Александра Васильевна умышленно не замечала его, точно отвоевывала себе каждую четверть часа. Наконец, кончилось и мо-

роженое. Она поднялась, подавая руку, и устало проговорила:

— Проводите меня в следующую комнату, где сидит мой... кавалер.

Последнее слово она выговорила с заметным усилием, а потом улыбнулась и прибавила:

— А вы все-таки бессовестный... Я жду вас.

— О, конечно. Я буду так счастлив видеть вас...

Сколько таких обещаний не выполняется никогда, гораздо больше, чем не сбывается снов. Но я верил в свои слова, отводя свою даму к ее компании. Я даже не посмотрел, кто там сидел, а отправился прямо в «мертвецкую», где сейчас же напился с горя и почувствовал себя «серым человеком» с новой силой. Откуда-то появился Пепко, освободившийся от дамы. Он тоже был мрачен. Опьяняла вся обстановка: шум голосов, пение, табачный дым. Когда я вышел в зал, публики оставалось едва одна половина. К моему удивлению, я заметил другого серого человека, который внимательно наблюдал меня. Я вдруг почувствовал облегчение, точно встретил род-

ного брата. Такой же точно летний костюм, такой же рост, и даже лицом походит на меня. Я пошел к нему, он двинулся навстречу мне. Потом... потом оказалось, что это было отражение в стенном зеркале моей собственной персоны. «Серый человек» так и остался в одиночестве.

Глава 26

В предыдущем очерке я забежал вперед, чтобы закончить историю «серого человека», а сейчас возвращусь к моменту, когда Фрей взял у меня рукопись романа. Через три дня он мне объявил:

— С января будет издаваться новый журнал «Кошница», материала у них нет, и они с удовольствием напечатают ваш роман. Только, чур, условие: не следует дешевить.

— Постараюсь...

— Да, да... Не забывайте, что не вы один, не следует сбивать цен.

Разговор происходил в трактире Агапыча, где мы снова водворились вместе с восстановлением деятельности «Нашей газеты». Притягательной силой являлись привычка к свое-

му насиженному углу и некоторый кредит, который открывал Агапыч своим завсегдатаям. Вообще мы здесь чувствовали себя по-домашнему, как богатые люди в своих клубах. Прислуга давно уже выделила нас из остальной, случайной публики и относилась к нам по-родственному, чему немало способствовало и то, что в глазах этого трактирного человечества мы являлись представителями литературы. Лакеи с салфетками подмышкой являлись той благосклонной публикой, которая уже служила для каждого автора живым фоном. Литературные имена котировались на этой читательской бирже. Тут были уже твердые, установившиеся фирмы, как Порфир Порфирыч, рассказы которого лакеи читали взасос. К моему удивлению, я убедился, что тоже начинаю приобретать некоторое имя, хотя и нахожусь еще в периоде искуса. Седой лакей Степаныч как-то по-отечески шепнул мне:

— Помилуйте-с, читали мы ваши рассказы... Ничего-с, форменно, хоша супротив Порфира Порфирыча еще и не дошли-с. У них искра-с...

Это были первые пары той несчастной литературной славы, которая окутывает автора, как дым фабрику. Не скрою, что мне было приятно слышать отзыв Степаныча: искаженная, искалеченная и изувеченная условиями мелкого литературного рынка мысль неведомыми путями проникала к читателю, и еще более неведомыми путями возникала там писательская физиономия. Невыгодное для меня сравнение с Порфиром Порфирычем нисколько не было обидно: он писал не бог знает как хорошо, но у него была своя публика, с которой он умел говорить ее языком, ее радостями и горем, заботами и злобами дня. Принципиально великих людей нет, как принципиально нет холода; величие создается только нашим эгоизмом. Нивелирующей силой здесь является только одно чувство. С другой стороны, меня в отзыве Степаныча поразило то привилегированное положение, которое занимают по отношению к читателю беллетристы. Например, тот же Степаныч ценил и уважал Фрея, как «серьезного газетчика», но его симпатии были на стороне Порфира Порфирыча: «Они, Порфир Порфирыч, конечно,

имеют свою большую неустойку, значит, прямо сказать, слабость, а промежду прочим, завернут такое тепленькое словечко в другой раз, что самого буфетчика Агапыча слезой прошибут-с»... Да, у нас уже была своя маленькая публика, которая делала нас общественным достоянием.

Кстати, во время моего разговора с Фреем относительно «Кошницы» из остальных членов «академии» присутствовал один Порфир Порфирыч. Он сидел в кресле и дремал. За последнее время старик сильно изменился и даже не мог пить. Жаль было смотреть на это осунувшееся пожелтевшее лицо с умными и такими жалкими глазами. Многолетнее искусственное возбуждение напитками сменилось теперь страдальчеством завзятого алкоголика. Притупленные и проржавевшие нервы возбуждались только по инерции, по привычке к знакомым словам: есть своя профессиональная энергия, которая переживает всего человека. Так сейчас, когда Фрей заговорил о «новом журнале», Порфир Порфирыч точно проснулся, причмокнул и даже подмигнул в пространство. Ага, новый журнал! Так-с... От-

лично. «Кошница»? Превосходно, хотя название и с претензией!

— Весьма одобряю... — тихо проговорил старик, улыбаясь, и прибавил с грустной улыбкой: — Сколько будет новых журналов, когда нас уже и на свете не будет! И литератор будет другой... Народится этакой чистоплюй и захватит литературу. Хе-хе... И еще горьким смехом посмеется над нами, своими предками, ибо мы были покрыты грязью и несовершенствами. Да, посмеется... А того не будет знать, через какие трущобы мы брели, какие тернии рвали нашу душу и как нас обманывали на каждом шагу блуждающие огоньки, делавшие ночь еще темней. Чистоплюй он, и по своему чистоплюйству будет доволен всем, потому что будет думать только о себе. Вон название то какое: «Кошница»... Этак как будто и славянофильством попахивает и о присовокуплении чего-то говорит... А впрочем, не в этом дело-то, о юноша!

Старик закашлялся, схватившись за натруженную грудь, и долго не мог прийти в себя.

— Да, «Кошница»... — шептал он, вытирая слезы, выступившие от натуги. — Отчего не

«Цевница»? А впрочем, юноша, не в этом дело... да. Мы в потемках кончим дни своего странствия в сей юдоли, а вы помните... да, помните, что литература священна. Еще семь тысящ мужей не преклоняло колен пред Ваалом... Ты написал печатный лист; чтобы его прочесть, нужно minimum четверть часа, а если ты автор, которого будет публика читать нарасхват, то нужно считать, что каждым таким листом ты отнимаешь у нее сто тысяч четвертей часа, или двадцать пять тысяч часов. Это составит... составит около тысячи дней, или около трех лет... Уже этот механический расчет представляет все величие твоего призвания, а посему гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна — человеческое слово... Будь жрецом.

Отвлеченные рассуждения сделались теперь слабостью Порфира Порфирыча, точно он торопился высказать все, что наболело в

душе. Трезвый он был совсем другой, и мне каждый раз делалось его жаль. За что пропал человек? Потом я знал, чем кончались эти старческие излияния: Порфир Порфирыч брал меня под руку, отводил в сторону и, оглядевшись, говорил шепотом:

— Помните... тогда... на даче? Ведь вы видели у меня тогда красную бумагу? И вдруг нет ничего... Нет — и кончено, все кончено.

— Послушайте, Порфир Порфирыч, не стоит даже говорить об этом... Вы заработаете десять таких красных бумаг, если захотите.

— Не стоит? Хе-хе... А почему же именно я должен был потерять деньги, а не кто-нибудь другой, третий, пятый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но в них заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. Я теперь даже писать не могу... ей-богу! Как начну, так мне и полезет в башку эта красная бумага: ведь я должен снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются руки. И мне начинает казаться, что я их никогда не отработаю... Сколько бы ни написал, а красная бумага все-таки останется.

Бедняга начинал заговариваться. «Красная

бумага» являлась для него роковым «пунктиком», и он постоянно возвращался к этой теме, как магнитная стрелка к северу. Все члены «академии» были посвящены им в эту тайну и решили, что у Порфирыча заяц в голове, как выражался Пепко. Потом Порфир Порфирыч скрылся с нашего горизонта; потом прошел слух, что он серьезно болен и лежит где-то в больнице, а потом в уличном листке, в котором он работал, появилось коротенькое известие о его смерти. Некролог, написанный дружеской рукой, в теплых выражениях вспоминал заслуги покойного, его незлобивость и даже «роковую слабость», которая взяла у литературы столько жертв. Между прочим, явился в газетке и посмертный рассказ старика «Бедный Йорик». Рассказ был слаб, вымучен, и от него уже веяло тлением, — внутренний человек умер раньше. Я припомнил, как Порфир Порфирыч, подмигивая и причмокивая, говорил:

— Эге, а мы, литераторы, умеем сводить концы... Разве собака умирает дома? И мы тоже...

На моих глазах это была еще первая лите-

ратурная смерть, которая произвела сильное впечатление. В самом деле, какими неведомыми путями создается вот этот русский писатель, откуда он приходит, какая роковая сила выталкивает его на литературную ниву? Положим, что писатель Селезнев был маленький писатель, но здесь не в величине дело, как в одной ткани толщина и длина отдельных ниток теряется в общем. Есть роковые силы, которые заставляют человека делаться тем или другим, и я уверен, что никакой преступник не думает о скамье подсудимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает ему весь вольный белый свет, никогда не думал быть тюремщиком.

«Академия» жалела Порфира Порфирыча и даже устроила по нем тризну, на которой главным образом обсуждались «теплые слова» некролога.

— Умер человек, так нет, и мертвому не дают покоя, — ворчал Фрей. — К чему эта похоронная ложь, и кому она нужна?..

— А все-таки... — спорил пьяный Гришук, — чтобы другие чувствовали... да.

— А ты пошел на похороны? Ты навестил

его в больнице?

Вся «академия» была смущена этими простыми вопросами, и каждый постарался представить какое-нибудь доказательство своей невинности.

Меня удивило, что всех больше поражен был смертью Порфира Порфирыча мой друг Пепко.

— Да, вообще... — бормотал он виновато. — Черт знает, что такое, если разобрать!.. Помнишь его рассказ про «веревочку»? Собственно, благодаря ему мы и познакомились, а то, вероятно, никогда бы и не встретились. Да, странная вещь эта наша жизнь...

Как свежую могилу покрывает трава, так жизнь заставляет забывать недавние потери благодаря тем тысячам мелких забот и хлопот, которыми опутан человек. Поговорили о Порфире Порфирыче, пожалели старика — и забыли, уносимые вперед своими маленькими делами, соображениями и расчетами. Так, мне пришлось «устраивать» свой роман в «Кошнице». Ответ был получен сравнительно скоро, и Фрей сказал:

— Вот видите, у них нет материала... Да и

где его взять по нынешним временам...

Я отправился в редакцию «Кошницы», которая помещалась в Троицком переулке. Бельэтаж. Двери отворил лакей, в переднюю выбежали два ирландских сеттера — вообще совсем другое, чем у Ивана Иваныча. Редакция помещалась в квартире издателя, который и принял меня. Это был господин под тридцать лет, южного типа, безукоризненно одетый и сиявший брильянтами.

— Это ваш роман? Он уже печатается... Кстати, ваши условия?

Я с некоторой робостью выговорил цифру, — лист был гораздо меньше, чем у Ивана Иваныча, и я назначил ту же цену, выгадывая на разнице.

— Что же, хорошо... — согласился сияющий господин. — Кстати, я только издатель, а редакцией заведует...

Он назвал фамилию редактора, сообщил его адрес и посмотрел на меня такими глазами, когда желают покойной ночи.

От издателя я полетел к редактору, который жил у Таврического сада. Это был очень милый и очень образованный человек в ка-

ком-то мундире.

— Очень рад с вами познакомиться... Вы уже видели нашего издателя? Очень хорошо... Я только редактор. — В этот момент я не придал особенного значения этим словам, потому что был слишком счастлив, как, вероятно, счастлива та женщина, которую так мило обманывает любимый человек. Есть и такое счастье...

Роман принят, роман печатается не в газете, а в журнале «Кошница», — от этого хоть у кого закружится голова. Домой я вернулся в каком-то тумане и заключил Пепку в свои объятия, — дольше скрываться было невозможно.

— Пепко, мой роман печатается... Да, печатается! Понимаешь?..

— И ты рад? И я тоже рад... Значит, мы оба рады. На всякий случай поздравляю...

Изверг даже не спросил, где печатается мой роман, но я ему прощал вперед, потому что, очевидно, Пепко ревновал меня к моему первому успеху. Конечно, теперь все мне завидовали, весь земной шар...

Глава 27

С Пепкой что-то случилось, начиная с того, что он теперь отсиживался дома и выходил только утром на лекции. Федосья уже несколько раз иносказательно давала мне понять, что он влюблен в Анну Петровну. Единственным основанием для такого заключения было то, что Пепко по вечерам пил чай у Анны Петровны и таким образом осуществлял того «мужчину», который, по соображениям Федосьи, должен был быть у каждой женщины, как бывают детские болезни. Кстати, Федосья наносила Пепке систематический вред, и я только мог удивляться его терпению. Дело в том, что летом Федосья подружилась с Любочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила к ней. Они о чем-то вечно шептались, и Пепко жил в ожидании какого-нибудь скандала. С другой стороны, он не хотел уступать и казаться малодушным, а поэтому продолжал свои вечерние чаи у Анны Петровны. Часто случалось так, что Пепко сидит у медички, а Любочка — у Федосьи. Я не понимал в данном случае поведения Анны

Петровны, которая раз уже имела крупную неприятность от Любочки. Впрочем, может быть, здесь объяснением могло служить то, что медичка считала себя выше всяких подозрений и тоже не желала уступать. Так или иначе, но скандал все-таки разыгрался; Любочка подкараулила вечером Анну Петровну на улице, бросилась на нее и, кажется, хотела откусить нос. К счастью, никого не было поблизости, и дело обошлось семейным образом. Любочка вбежала с воплями и причитаниями к Федосье и проявила большие наклонности к буйству, так что потребовалось вмешательство Пепки.

— Если вы еще раз явитесь сюда, я... я... — задыхаясь и сжимая кулаки, кричал Пепко. — Да, я...

Он схватил Любочку за плечи и вытолкнул на улицу. Получилась сцена, до последней степени возмутительная, так что мне пришлось вмешаться.

— Пепко, это гадость...

Пепко тяжело дышал и только смотрел на меня обезумевшими глазами. Он был бледен как полотно, и побелевшие губы шевелились

беззвучно, как у китайской куклы. Сцена происходила в коридоре, и единственной свидетельницей была Федосья, наслаждавшаяся готовым вспыхнуть ратоборством. Обезумевший Пепко уже сделал шаг ко мне, лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась вперед, — вероятно, его бешенство обрушилось бы на меня, и мне, вероятно, пришлось бы разделить участь Любочки, но в этот трагический момент появилась в дверях Анна Петровна. Еще момент — и протянутая рука Пепки опустилась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и втолкнула к себе в комнату, как напроказившего ребенка. Он повиновался, и я заметил, как у него дрожали губы.

Распорядившись с Пепкой, Анна Петровна обратила теперь свое благосклонное внимание на меня.

— Вы... вы... вы... — шептала она хрипло. — Я вас ненавижу... да. Сейчас разыгралась дикая и нелепая сцена, но вы хуже в тысячу раз его с вашей бессильной добродетелью... У вас не хватит силенки даже на маленькое зло. Вы — ничтожность, приличная

ничтожность... Да, да, да...

Это было повторением сцены с Любочкой ночью в Парголове, и я только рассмеялся. Моя улыбка окончательно взбесила Анну Петровну.

— И вы еще можете смеяться, несчастный? Наконец... наконец, если вы хотите знать... да, хотите... я его люблю... Он в тысячу раз лучше вас всех, да, лучше.

— Я могу только поздравить вас с счастливым приобретением...

— Вы — циник!!..

Признаюсь, я тоже был взбешен. Если Любочка могла себе позволить неистовство, то она на это имела «полное римское право», как говорила Федосья. По-женски Любочка была вполне последовательна, потому что она была только женщиной и ничем другим. Но Анна Петровна совсем другое, — у нее должны были существовать некоторые задерживающие центры. Я подошел к двери в комнату Анны Петровны и крикнул:

— Эй ты, трус, выходи!.. Я имею сказать тебе несколько теплых слов, которые поднимут твою храбрость на приличную высоту!

За дверью послышалось рычание Пепки, а затем он одним прыжком был в дверях. Анна Петровна не растерялась и захлопнула у него дверь под носом, а мне величественным жестом показала на дверь моей комнаты. Я поклонился и пошел в противоположный конец коридора, к выходу. У меня горела голова, в висках стучала кровь, и я почему-то повторял про себя: «Нет, погодите, господа... да, погодите, черт возьми!» Я вышел на лестницу и нашел там Любочку, которая сидела на ступеньке, схватившись руками за голову. Это была живая статуя страдания.

— Любочка, идите домой. Вам нечего здесь делать, если не хотите, чтобы вас били... Нужно иметь хоть какую-нибудь гордость...

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнял от лица ее руку, — рука была холодна, как лед.

— Любочка, вы простудитесь... Сюит ли рисковать своим здоровьем из-за какого-то негодяя.

— Он не виноват... — простонала Любочка. — Он хороший...

На меня напала непонятная жестокость...

Я молча повернулся, хлопнул дверью и ушел к себе в комнату. Делать я ничего не мог. Голова точно была набита какой-то кашей. Походив по комнате, как зверь в клетке, я улегся на кушетке и пролежал так битый час. Кругом стояла мертвая тишина, точно «Федосьины покровы» вымерли поголовно и живым человеком остался я один.

«Нет, погодите, господа...» — повторял я про себя давешнюю бессмысленную фразу.

В самом деле, я-то тут при чем? Благодарю покорно... Режьтесь, отравляйтесь, деритесь, — я ничего больше знать не хочу и не разогну для вас пальца. Да-с, так и знайте... Свое негодование с Пепки я, по логике рассерженного человека, перенес на Анну Петровну... Вот вы какая, Анна Петровна! Отлично... Кто мог подумать про вас что-нибудь подобное! И какая энергия... Очень недурно, как в плохом театре, где комики говорят трагическим тоном, а трагики вызывают неудержимый смех. А потом, как это мило: полное повторение того, что говорила летом Любочка. О, женщины!.. как сказал Шекспир.

Сильные волнения у меня всегда заканчи-

вались бессовестно-крепким сном, — вернейший признак посредственности, что меня сильно огорчало. Так было и в данном случае: я неожиданно заснул, продолжая давешнюю сцену, причем во сне оказался гораздо более находчивым и остроумным, чем в действительности. Вероятно, я так бы и проспал до утра, если бы меня не разбудил осторожный стук в дверь.

— Войдите...

Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый женский голос проговорил:

— Да у вас совсем темно.

— Виноват... Я сейчас зажгу лампу.

Зажигая лампу, я чувствовал, что незнакомка пристально рассматривает меня.

— Вы, вероятно, удивлены, молодой человек, что к вам в одиннадцать часов ночи врывается совершенно незнакомая дама...

Голос был молодой и приятный, но его обладательница имела уже блеклый вид в той мере, в какой он нравится совсем неопытным юношам. На мой немой вопрос она объяснила:

— Я к вам по делу... Позвольте предста-

виться: сестра Анны Петровны. Зовут меня Аграфеной... Вы, вероятно, догадываетесь о цели моего посещения?

— Ах, да... почти... Садитесь, пожалуйста.

Я только теперь рассмотрел ее хорошенько: шатенка, среднего роста, в коричневом платье не первой молодости, которое не скрывало очень солидных форм. Серые глаза, чуть-чуть подведенные, смотрели с веселой дерзостью. Меня поразили густые волосы, сложенные на затылке тяжелым узлом. Она медленно оглядела комнату, оглядела ветхий стул, который ей я подал, а потом села и спокойно перевела глаза на меня.

— Послушайте, молодой человек...

— Меня зовут Василием Ивановичем...

— Виновата, Василий Иваныч... Скажите, пожалуйста, вам не совестно? Нисколько?

— Странный вопрос...

— Вы понимаете, о чем я говорю. По крайней мере вы должны испытывать неловкость, что заставили замужнюю женщину прийти к вам с объяснениями довольно интимного характера. Это не по-джентльменски...

— Я могу только удивляться, Аграфена Пет-

ровна, — именно, что вам за охота вмешиваться в чужие дела?..

— Как чужие? Ведь Анна Петровна — моя сестра, родная сестра. Положим, мы видимся очень редко, но все-таки сестра... У вас нет сестры-девушки? О, это очень ответственный пост... Она делает глупость, — я это сказала ей в глаза. Да... Она вас оскорбила давеча совершенно напрасно, — я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, значит, вам нужно идти к ней и извиниться.

— ?

— Вы забываете, что сестра моя женщина, больше — девушка, и мужчина виноват всегда, особенно если выведет ее из себя.

Это была оригинальная логика, и серые глаза весело улыбнулись. Сделав небольшую паузу, она проговорила с расстановкой:

— Агафон Павлыч ваш друг? Моя бедная сестра имела несчастье его полюбить, а в этом состоянии женщина делается эгоисткой до жестокости. Я знаю историю этой несчастной Любочки и, представьте себе, жалею ее от души... Да, жалею, вернее сказать — жалела. Но сейчас мне ее нисколько не жаль... Может

быть, я несправедлива, может быть, я ошибаюсь, но... но... Одним словом, что она может сделать, если он ее не любит, то есть Любочку?

Я засмеялся. Разве Пепко мог кого-нибудь любить? Этот ответ, видимо, обидел моего парламентера.

— Аграфена Петровна, я все-таки не понимаю, что вам нужно от меня?

— Я уже сказала вам... А затем моя сестра надеется исправить вашего друга. Я подозреваю, что эта миссия именно и увлекает ее. Что делать, мы, женщины, все страдаем неизлечимой доверчивостью. Многое она приписывает вашему дурному влиянию.

Это уже было слишком, и я расхохотался. Моя собеседница закусила губы и вызывающе посмотрела на меня. Потом она точно передумала и опять улыбнулась.

— Все-таки вы сделаете по-моему, пойдете и извинитесь... да. Это вы сделаете для меня... Скажу больше, — вы меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, конечно, потому что избавляетесь от меня...

— Хорошо. Я согласен... Но только изви-

нюсь не сегодня.

— О, это решительно все равно...

У нее явилось усталое выражение, и она с трудом сдержала зевоту.

Я отправился ее провожать. Стояла холодная зимняя ночь, но она отказалась от извозчика и пошла пешком. Нужно было идти на Выборгскую сторону, куда-то на Сампсониевский проспект. Она сама меня взяла под руку и дорогой рассказала, что у нее есть муж, который постоянно ее обманывает (как все мужчины), что, кроме того, есть дочь, девочка лет восьми, что ей вообще скучно и что она, наконец, презирает всех мужчин.

— Не стоит жить, — закончила она свою исповедь. — А сегодня у меня какая-то особенная тоска... К сестре я попала совершенно случайно — и вдруг попадаю на эту глупую историю. Я серьезно против ее увлечения...

Мы остановились у подъезда. Внутренно я был рад, что и моя миссия закончилась. Моя дама что-то медлила и устало проговорила:

— Муж возвращается только в два часа ночи... девочка давно спит...

Она с тоской посмотрела на меня, крепко

пожала мою руку и молодым движением скрылась в дверях. Я стоял на тротуаре и думал: какая странная дама, по крайней мере для первой встречи. Тогда еще не было изобретено всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спал на своей кровати невинным сном грудного младенца. Меня это даже не возмутило... Что же, счастлив тот, кто может спать так крепко.

Глава 28

Первая книжка нового журнала «Кошница» должна была выйти первого января, но этому благочестивому намерению помешали разные непредвиденные обстоятельства, и книжка вышла только в конце января. Понятно, что я ждал с нетерпением этого события: это был первый опыт моего журнального «тиснения»...

Объявление о выходе «Кошницы» я прочел в газете. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у моего романа было изменено заглавие — вместо «Больной совести» получились «Удары судьбы». В новом названии чувствовалось какое-то роковое пророчество. Ма-

ло этого, роман был подписан просто инициалами, а неизвестная рука мне приделала псевдоним «Запорожец», что выходило и крикливо и помпезно. Пепко, прочитав объявление, расхохотался и проговорил:

— «Для начала недурно», как сказал турок, посаженный на кол... Да, не вредно, господин Запорожец, а удары судьбы были провиденциальным назначением каждого доброго запорожца... На всякий случай поздравляю «с полем», как говорят охотники, когда убита первая дичь.

Мне была совершенно понятна затаенная ревность Пепки: он печатался только в газетах, а тут настоящий журнал, хотя и «Кошница». Собственно, и к названию и к псевдониму Пепко был совершенно равнодушен, но, кроме начинающейся славы, он провидел и другую сторону — получение гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по приблизительному расчету мне получить около ста рублей. У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цифра точно жгла мой мозг, и мне делалось даже совестно, что я из богемы делаю скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов.

— Невинные восторги первого авторства погибают в неравной борьбе с томящей жаждой получить первый гонорар, — резюмировал Пепко мое настроение: — тут тебе и святое искусство, и служение истине, добру и красоте, и призвание, и лучшие идеи века, и вклад во всемирную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и тут же душевный вопль: «Подайте мне мой двугривенный!» Я уверен, что литература упала, — это факт, не требующий доказательств, — от двух причин: перевелись на белом свете меценаты, которые авторам давали случаи понюхать, чем пахнет жареное, а с другой — авторы нынешние не нюхают табака. Ты не смейся, — это гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и упадок современной поэзии находится в прямой зависимости от брошенной привычки набивать себе нос табаком. Вот прекрасная тема для диссертации...

— А как же классические поэты?

— О, я убежден, что и они нюхали табак, а потом человечество на целую тысячу лет забыло об этом, пока Колумб снова не открыл табак уже в Америке. Да, так что было бы в

доброе старое время? Ты написал свои «Удары судьбы», несешь их меценату... Меценат дает их читать своему любимому арапу, а потом жертвует тебе золотую табакерку, кафтан с своего меценатского плеча, сапоги, штанишки и отпускает корм с своей кухни. По торжественным дням ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду не за обычай. Но ты уже получаешь известность... Выступает женщина — чудная женщина доброго старого времени, богомольная безбожница, суеверная, ласковая, красивая — да, всегда красивая. Она уже заметила тебя, пролила слезу и вытащит тебя за ушко в люди. А теперь что: отправишься ты в свою «Кошницу», получишь свой двугривенный, — и все тут. Публика совсем не интересуется тобой, как не интересуется клоуном, который на ее благосклонных глазах сорвался с трапеции и проломил себе башку.

— Это, кажется, относится ближе к твоим «Песням смерти», чем к моей скромной прозе.

— Ты прав, против собственного желания... Да, теперь время скверной прозы, а священный огонь поэзии обрекает на самую под-

лую нищету. Живой пример у тебя на глазах... Я не виноват, что родился слишком поздно. Представь себе, лежит этакий восточный деспотище, который даже не может ничего желать, — до того он пресыщен всем... Сегодня он отрубил уши тридцати тысячам человек, которые имели дерзость защищать свое отечество, вчера он превратил в пепел цветущую страну, третьего дня избил младенцев в собственном государстве; у него дремлет в смертельной истоме целый сад красавиц, ожидающих его ласки, как трава в зной ждет капли дождя, а деспотище уже ничего не может и для развлечения кромсает придворную челядь! И вдруг является посланец богов — поэт, то есть я... Да, это я вхожу к деспотищу в своем вретище и подношу ему несколько чудных газелей, где воспевается любовь, молодость, красота... Я — сладчайший Фирдуси,[113] я — Гафиз. У деспотища от моих стихов защипало в носу, деспотище проливает слезу... И посланник богов получает мзду в виде целого стада верблюдов, другого стада гаремных красавиц, достигших предельного возраста, и еще, и еще. Или: Луишка Каторз.[114]

заскучал... Лик короля-солнца покрыт зловещими морщинами, и вдруг опять я с напудренным, вспененным и наркотизированным стихом — и морщины на челе Луишки Каторза разглаживаются, а глаза делают безмолвно знак какому-нибудь маршалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно целую руку у последней королевской метрессы, делаю реверанс и удаляюсь к благополучию. Или: русский вельможа... Он все съел, все выпил и страдает одышкой. У него тяжелые ночи, как у страсбургского гуся, у которого вся жизнь сосредоточивается в одной печенке. И вдруг является поэт, который пишет оду на смерть российского Цинцинната[115] Да, вот что я такое... А сейчас я должен питаться всего тремя буквами, да и те вынужден тащить на улицу, в кабак.

— Да, ты потерял много времени совершенно напрасно...

— И мне ничего не остается, как купить табакерку на свой собственный счет и открыть новую эру в поэзии. Діхі.

Действительность не оправдала тех надежд, с какими я шел в первый раз в редак-

цию «Кошницы». Во-первых, издателя не оказалось дома, и «человек» не мог сказать, когда он бывает дома.

— Да ведь бывает же он когда-нибудь дома? — приставал я, охваченный первой тенью сомнения.

— Сегодня были-с...

— А завтра?

— Не могу знать-с... Иногда они уезжают из дому дня на три.

Я чувствовал, что издатель дома и что меня просто-напросто «не принимают». Кстати, я в первый раз даже не заметил фамилии издателя и прочитал ее в первый раз на обертке журнала: С. Я. Райский. Пепко видел в ней залог несомненного блаженства, что для первого раза не оправдалось.

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Признаюсь, меня охватило мрачное предчувствие, что дело как будто неладно. Вдобавок, в надежде на получение гонорара, я издержал последние гроши и сейчас не имел денег даже на конку. Пришлось шагать пешком к Таврическому саду. «Только редактор» оказался дома и принял меня с изысканной любезно-

стью.

— Поздравляю... Это ваш первый опыт, кажется?

— Да, первый...

— Вы, конечно, понимаете, что он мог бы быть и лучше, но первому блину многое прощается...

Эта развязность «только редактора» немного кольнула меня, и я без предисловий перешел к вопросу о гонораре.

— Я уже вас предупреждал, что я только редактор и в хозяйственную часть журнала не вмешиваюсь. Я такой же сотрудник, как и вы...

— Послушайте, от кого же я могу получить сведения о сроке получения гонорара? Для меня это очень важный вопрос... При редакции полагается обыкновенно контора.

— Да, да... Но у нас дело новое, и пока никакой конторы не существует, а ее совмещает в себе Райский. Он немножко легкомысленный человек и не признает никаких сроков...

Одним словом, я вернулся ни с чем, кроме тяжелого предчувствия, что мой первый блин выйдет комом. Мое положение было до того

скверное, что я даже не мог ничего говорить, когда в трактире Агапыча встретил «академию». Пепко так и сверлил меня глазами, изнемогая от любопытства. Он даже заглядывал мне в карманы, точно я по меньшей мере спрятал Голконду.[116] Меня это взорвало, и я его обругал.

— Ты глуп до святости, мой друг.

— Послушай, это не по-товарищески — скрывать сокровище.

— Убирайся к черту!..

Пепко почувствовал, что стряслась какая-то беда, и в качестве истинного друга тайно торжествовал. Фрей хмурился и старался не смотреть на меня. Это было скверным знаком... Наконец, он отвел меня в сторону и конфиденциально сообщил:

— А знаете, этот Райский просто мазурик, из мелких клубных шулеров. Я слишком поздно узнал... Необходимо действовать энергично.

Я рассказал свой первый «опыт», и брови Фрея приняли угрожающее положение, а трубочка захрипела.

На следующий день я, конечно, опять не

застал Райского; то же было и еще на следующий день. Отворявший дверь лакей смотрел на меня с полным равнодушием человека, привыкшего и не к таким видам. Эта скотина с каждым разом приобретала все более и более замороженный вид. Я оставил издателю письмо и в течение целой недели мучился ожиданием ответа, но его не последовало.

— Возьмите рукопись, и ну их к черту! — советовал Фрей.

— Это неудобно: может быть, и заплатят!

Брови Фрея сильно сомневались в возможности такого исхода, а мне в утешение оставалась только вера, — не хотелось расстаться с блестящей иллюзией.

«Только редактор» был постоянно дома и вечно что-то такое строчил. Он старался успокоить меня разными остроумными предположениями, не забывая выгораживать свою личную неприкосновенность.

— Да, мы разделяем общую участь, — повторял он. — Вы видите, что я постоянно работаю. Одних рукописей сколько приходится перечитывать, а потом поправлять их.

— А как вы думаете, Райский заплатит что-

нибудь?

Этот вопрос заставил руки «только редактора» раскинуться в такой форме, точно я пригвождал его ко кресту.

— Могу сказать только про себя и о себе, что я... Знаете французскую поговорку: «La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a».[117]

Поговорку я слышал в первый раз, и она стоила мне около пятисот рублей.

«Только редактор» для меня лично навсегда остался неразрешимой загадкой, как шестой палец. Он имел специальное образование, знал три языка, где-то служил и кончил тем, что сделался редактором сомнительного журнала «Кошница». Можно проследить даже периоды появления таких никому не нужных журналов, которые разделяют печальную участь писем, отправленных без адреса. Какими путями зарождается мысль о таких журналах, как они осуществляются и как находятся люди, которые решаются отдавать им и деньги, и труд, и энергию? Впоследствии я встречал много таких людей, которые как-то бочком всю жизнь проведут «около литерату-

ры». Замечательно то, что именно эти люди с особенной беззаветностью преданы литературе и для нее готовы пожертвовать всем. Впрочем, есть целая категория так называемых «друзей артистов», и к ней примыкают «друзья литературы». В этой пестрой и оригинальной среде много лишнего, и подчас сюда вторгаются даже совсем нежелательные элементы, как издатель Райский.

Опыт с «Кошницей» имел для меня только то значение, что послужил предостережением не делать таких опытов в другой раз.

Глава 29

Сгоряча я было махнул рукой на свои «Удары судьбы», но Фрей смотрел на дело иначе.

— Нет, так нельзя, — упрямо повторял он. — С какой стати каким-то прохвостам бросать пятьсот рублей? Мы испортим им характер...

— Что же делать?

— А к мировому!

— Знаете, как-то неудобно начинать литературную деятельность с прошения к мирово-

му.

— Вздор! Я сам пойду за вас... Так нельзя, государь мой! Это грабеж на большой дороге...

Мне было тяжело и обидно даже думать о таком обороте дела, и я употреблял все усилия, чтобы кончить дело миром. Опять начались бесплодные хождения к «только редактору», который ударял себя в грудь и говорил:

— Посмотрите на меня: я работаю больше вас и тоже ничего не получаю.

— Это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых — плохое утешение для меня.

— Нет, извините, чужие несчастия — наше лучшее утешение. Мы — друзья по несчастию.

Когда я намекнул относительно вчинения иска законным порядком, «только редактор», видимо, струсил и вручил мне двадцать пять рублей.

— Ага, я говорил!.. — торжествовал Фрей. — Впрочем, первая ласточка еще не делает весны... И мы все-таки вчиним иск, черт меня побери!..

Мне дорого обошлась эта «первая ласточ-

ка». Если бы я слушал Фрея и вчинил иск немедленно, то получил бы деньги, как это было с другими сотрудниками, о чем я узнал позже; но я надеялся на уверения «только редактора» и затянул дело. Потом я получил еще двадцать пять рублей, итого — пятьдесят. Кстати, это — все, что я получил за роман в семнадцать печатных листов, изданный вдобавок отдельно без моего согласия.

А жизнь шла своим чередом, загромождая путь к славе бесплодным камением и евангельскими терниями. В неудаче с первым романом я начинал видеть достойную кару за сделку с совестью. А не пиши романов для сомнительных изданий, не имей дела с сомнительными людьми... Человек, наделавший ошибок и глупостей, с трогательной настойчивостью предается отыскиванию истинного виновника, а в данном случае он был налицо, это — я сам. Следующим моментом этой философии впавшего в ошибку человека является скромное желание искупить ее деянием противоположного характера, покрывающего содеянное прегрешение. Да, нужно было искупление, нужна очистительная жертва... А

она была тут, налицо. Я добыл заброшенные рукописи и принялся их перечитывать с жадностью. Да, в них было и чистое и хорошее, то, для чего стоит жить, а главное — нет принижающего подлаживанья к кому-то и чему-то. Много незрелого, вымученного, придуманного и все-таки хорошего. Я с какой-то жадностью перечитывал свой первый роман, потерпевший фиаско уже в двух редакциях, и невольно пришел к заключению, что ко мне там были несправедливы. Один редактор «толстого журнала» говорил, что слишком много описаний и мало сцен, а другой — что описаний мало. Где же правда? Кстати, я припомнил Пепку, который серьезно верил в мой талант и предсказывал даже литературную будущность. Милый Пепко... Он пока один ценил меня... Что же, другие потом убедятся, как они ошибались, то есть даже не ошибались, а просто не заметили, какой умный человек замешался среди них. И умный и талантливый... Да, работать, работать, работать! К черту все сомнения!.. Хотя, с другой стороны, если подумать, что в России сто миллионов населения, что интеллигенции

наберется около миллиона, что из этого миллиона в течение десяти лет выдвинется всего одно или, много, два литературных дарования, — нет, эта комбинация приводила меня в отчаяние, потому что приходилось самого себя считать избранником, солью земли, тем счастливым номером, на который падает выигрыш в двести тысяч. Нет, выиграть двести тысяч даже легче (два раза в год можно выиграть), чем сделаться писателем. А сколько тысяч неудачников, ожесточенных самолюбий, озлобленных умов и неудовлетворенных самомнений на этом тернистом пути — настоящий дремучий лес! А какая масса растрачивается никому не нужного труда, энергии, лучших чувств, просто физической силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!

Эти предварительные родовые схватки творческих мук доводили меня до отчаяния. Я хватался за перо и начинал писать, чтобы потом уничтожить написанное. Выступала другая сторона дела: существует русская литература, немецкая, французская, итальянская, английская, классическая, целый ряд восточных, — о чем не было писано, какие вопросы

не были затронуты, какие изгибы души и самые сокровенные движения чувства не были трактованы на все лады! Я перебирал классические произведения и приходил к печальному заключению, что все уже написано и что я родился немного поздно. Что можно было сказать нового на этом пире избранников? Какое новое слово можно принести в этот мир князей мысли? Наконец, каждый человек является продуктом своего времени, своих обстоятельств, условий своей жизни... Да, хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом, когда он родится на свет уже культурным, когда в самом воздухе висит эта культурная тонкость понимания, — одним словом, этот заграничный автор несет в себе громадное культурное наследство, а мы рядом с ним нищие, те жалкие нищие, которые прячут в тряпки собранные по грошикам чужие двугривенные. Много ли у нас своего? Ведь лучшие наши произведения — только подражания, более или менее удачные, лучшим заграничным образцам... Да иначе и не могло быть, потому что у нас, собственно, и жизни нет. Автор должен ее придумывать,

прикрашивать, сдабривать вот эту несуществующую жизнь... Я прикинул свое собственное «поле зрения» и пришел в ужас. Да разве можно быть автором, заживо похоронив себя в каких-нибудь «Федосьиных покровах»? Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, как атрофируются глаза рыб, попавших в подземные озера.

Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими русскими людьми, сказано талантливо, убедительно, красиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), по

которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть...

Я писал, перечитывал написанное и рвал.

Действительность выражалась в редком хождении на лекции и в репортерстве. Тут еще ярче выступала печальная истина, что мы плетемся в хвосте Европы и питаемся от крох, падающих со стола европейской науки. Наши ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, связанных с грехом пополам собственной отсебятиной. Исключений было так мало, а остальное подавляющее большинство представляло ту жалкую посредственность, которая заклеймена в Вагнере у Гете. Мое репортерство открывало мне изнанку этой русской науки и тех лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен. По своим обязанностям репортера я попал на самые боевые пункты этой ученой трагикомедии и был au courant[118] русской доброй науки. Свои отчеты я по прежнему приносил в трактир Агапыча, где по прежнему священнодействовал Фрей. Я искренне полюбил этого фанатика газетного дела, — только такими людьми и держится мир. Кроме га-

зеты, для него ничего не существовало, и он всегда был на своем посту.

— А, черт... — ругался однажды Фрей, просматривая телеграммы.

— Что такое случилось?

— А вот, полюбуйтесь...

Фрей ткнул пальцем на телеграммы о герцеговинском восстании. Я не понял его негодования.

— Что же тут дурного, полковник? Люди хотят освободиться от ига... Турецкие зверства, наконец...

— Э, батенька, стара штука... А скверно то, что вот из таких пустяков загораются большие события. Да... Там этих братушек сколько угодно: сербы, болгары, Македония. Ну, мы заступимся за них, загорится война — вот вам, то есть нам, репортерам, и мат. Кто будет читать наши ученые общества и разные известия о пожарах, убийствах, банковых крахах и юбилеях? Ложись и умирай... Публику хлебом не корми, а только подавай войну. Вот на этом самом теперь все газетчики и наигрывают, кроме «Нашей газеты». Одним словом, дрянь дело. Порохом пахнет...

Фрей предсказал войну, хотя знал об истинном положении дел на Балканском полуострове не больше других, то есть ровно ничего. Русско-турецкая война открыла нам и Сербию и Болгарию, о которых мы знали столько же, сколько о китайских делах. Русское общество ухватилось за славян с особенным азартом, потому что нужен же был какой-нибудь интерес. Сразу выплыли какие-то никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалобные люди, взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах.

Фрей находился в каком-то ожесточенном настроении и с особенным удовольствием ухватился за мое дело, как я ни уговаривал его бросить.

— Нет, постой, так нельзя... — мрачно говорил он, запрятывая в карман полученную от меня доверенность. — Этак с живого человека будут кожу драть, а он будет «покорно благодарю» говорить.

Подано было прошение мировому судье, и к делу приобщены три книжки «Кошницы», в которых печатался мой роман. Я был в каме-

ре только публикой. Со стороны Райского никто не явился, и мировой судья присудил Василию Попову четыреста пятьдесят шесть рублей. Это решение было обжаловано Райским, и дело перешло в съезд мировых судей. Дальше мне было совестно беспокоить Фрея; через две недели я выступил в съезде уже лично. Съезд утвердил решение мирового судьи, потому что противная сторона опять не явилась, и я получил исполнительный лист.

— Так-то будет лучше, — торжествовал Фрей, перечитывая этот ценный документ. — Мы им покажем.

Однако нам так и не удалось «им показать», потому что Райский скрылся из Петербурга неизвестно куда, а имущество журнала находилось в типографии. Судебный пристав отказал производить взыскание, так как не было ни редакции, ни конторы, ни склада изданий... В течение восьми недель я ходил в съезд с своим исполнительным листом, чтобы разрешить вопрос, но непременные члены только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконец, нашелся один добрый человек,

который вошел в мое положение.

— Вы давно ходите к нам с этим исполнительным листом?

— Да вот уже два месяца...

— Да? Знаете, что я вам посоветую: бросьте это дело... Все равно ничего не выйдет.

— Я сам начинаю об этом догадываться...

— Да, да...

Фрей даже зарычал, когда я предложил свой исполнительный лист ему на память. Он хотел еще куда-то жаловаться, искать местожительство Райского и т. д., но я его уговорил бросить всю эту комедию.

— Послушайте, я считал вас умнее, Попов...

— Что делать: таков уродился.

Пепко, узнавший об исходе дела, остался совершенно равнодушен и даже по своему коварству, кажется, тайно торжествовал. У нас вообще установились крайне неловкие отношения, выход из которых был один — разойтись. Мы не говорили между собой по целым неделям. Очевидно, Пепко находился под влиянием Анны Петровны, продолжавшей меня ненавидеть с женской последовательностью.

Нет ничего хуже таких отношений, особенно когда связан необходимостью прозябать в одной конуре.

— Послушай, ты должен быть мне благодарен, — заметил Пепко, принимая какой-то великодушный вид. — Да, благодарен. Ведь я мог бы тебе сказать, что все это можно бы предвидеть и что именно я это предвидел и так далее. Но я этого не делаю, и ты чувствуй.

Глава 30

Все эти треволнения, усиленная работа и не менее усиленное пьянство привели меня к естественному концу. Кстати, о пьянстве. Может быть, я начал именно с того, чем должен кончить русский писатель. Я уже говорил выше об условиях работы и образе нашей жизни. С семи часов вечера я обыкновенно уходил на работу, то есть в заседание какого-нибудь общества. Домой возвращаться приходилось уже поздно, в полночь. Затем Федосья будила меня в шесть часов утра. Нужно было написать отчет к восьми часам и немедленно снести в редакцию, то есть трактир Агапыча. В своей специальности я уже набил руку и

вполне усвоил репортерскую привычку писать о совершенно незнакомых вещах с развязностью завзятого специалиста. Обвинять же репортерское незнание, пожалуй, несправедливо, потому что поневоле приходится репортеру писать обо всем, а маленькая газетная кляча не обязана быть Гумбольдтом.[119]

Итак, мы работали, работали и пили. Приходишь к Агапычу, Фрей на своем посту и кто-нибудь из членов «академии». Такое деловое утро начиналось обыкновенно с водки. Трактирный «человек» даже не спрашивал, что нужно, а без предупреждения подавал графинчик водки. Фрей методически выпивал две рюмки, закусывал водку соленым огурцом, нюхал корочку черного хлеба и делался нормальным Фреем. Я водки с утра не мог пить, а спрашивал себе бутылку пива. Это быстро вошло в привычку. Начинал сосать пьяный червячок, если не выпьешь своей порции. Выпитое натощак пиво быстро дурманило, и вместе с тем чувствовалось какое-то облегчение, — совершенно особенное чувство, какое испытывается при прекращении зубной боли. В первый момент не верит-

ся, что эта боль утихла, и как-то повторяешь ее про себя и только потом привыкнешь быть по прежнему здоровым. Так и при пьянстве: количество выпитого не играет здесь особенной роли, потому что большая или меньшая «приемность» слишком субъективна. Выпив свою бутылку пива, я всегда испытывал приятное возбуждение, точно снимал с себя какую-то тяжесть. Затем этого заряда энергии начало недоставать, и пришлось пить другую бутылку. И так изо дня в день. Мысль о выпивке являлась с раннего утра. Я сознавал, что это нехорошо, что это вредно, глупо, и все-таки повторял свои порции. Молодой организм быстро поддается излишествам. Вечером являлась выпивка уже не в счет и в неопределенных размерах. Если не было заседания, я все чаще и чаще возвращался домой сильно под хмельком.

Настоящей многолетней привычки еще не могло быть, но пьянство было. Про себя я утешался рассуждением каждого пьяницы, что вот возьму и брошу, а сегодня это только так, пока. Сколько людей на Руси гибнет от жестокого пьянства, а между тем, чего, кажется,

проще отказаться от одной рюмки, всего от одной. Я быстро пошел по избитой дорожке и усвоил эту пьяную логику. К моему счастью, явился протест со стороны организма, что меня и спасло от окончательного падения. Началось с простого недомогания, бессонницы, плохого аппетита и лихорадки. Я не обращал на такие пустяки внимания и старался избавиться от них усиленной дозой напитков. Наконец, все завершилось кризисом, и в одно прекрасное утро я почувствовал, что серьезно болен и что продолжать прежний образ жизни невозможно. Это было органическое темное чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатию и неспособность к какой бы то ни было работе.

Странная вещь болезни вообще, и у них есть своя философия. По крайней мере это было верно лично для меня. Сколько передумаешь, перечувствуешь и переживешь в течение какого-нибудь одного дня. Первым ощущением у меня являлось то, как будто какая-то невидимая рука взяла тебя и вывела из круга здоровых людей. С каждым ударом сердца эта отчужденность усиливалась, и с

роковой быстротой увеличивалось расстояние, отделявшее тебя от жизни. Теперь все сосредоточивалось где-то там, внутри, где незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще вчера был здоров и не думал о здоровье, а сегодня уже пронеслась в воздухе грозная мысль об уничтожении, о смерти, о собственной ничтожности. Все, что делал, к чему стремился, о чем заботился, все это теперь являлось в совершенно другом свете. В самом деле, какое ничтожество каждый отдельный человек, взятый только сам по себе, и как мало дела всем остальным ничтожествам, если одним ничтожеством сделается меньше. От больных не сторонятся только из вежливости, из вежливости выслушивают их жалобы и очень рады, когда могут опять вернуться в общество своих здоровых людей. Все это я с особенной яркостью видел на моем друге Пепке и не обвинял его, потому что сам, вероятно, сделал бы то же самое.

Да, я лежал на своей кушетке, считал лихорадочный пульс, обливался холодным потом и думал о смерти. Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым умереть. Я с этим не мог

согласиться и как-то весь затаился, как прячется подстреленная птица. Да и к кому было идти с своей болью, когда всякому только до себя! А как страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе подвигает тебя к роковой развязке, к тому огромному неизвестному, о котором здоровые люди думают меньше всего.

Но я ошибался. За мной следила смешная и нелепая по существу женщина Федосья. Мы с ней периодически враждовали и ссорились, но сейчас она видела во мне больного и отнеслась с чисто женским участием. Получалась трогательная картина, когда она приносила то чашку бульона, то какие-то сухари, то кусок жареной говядины.

— Что вы все лежите, Попов?.. — ворчала она. — Пошли бы прогуляться, а то одурь возьмет... Вон ночью как сегодня кашляли!

— Ничего, пройдет...

— А отчего вы в клинику не хотите сходить?

— Незачем...

К клинике Федосья возвращалась с особенной настойчивостью, и это меня начинало

злить.

— Вам хочется избавиться от меня, — заметил я ей довольно грубым тоном. — Боитесь, что я умру у вас...

Федосья что-то прибирала в нашей комнате, остановилась и с удивлением посмотрела на меня. Она не обиделась, а только удивилась. Я ей платил черной неблагодарностью за ее женскую доброту. В другое время она ответила бы соответствующей же грубостью, но сейчас только посмотрела на меня такими жалеющими добрыми глазами. Мне сделалось совестно, и я в первый раз подумал, что вот живу у Федосьи скоро два года, а ни разу даже не подумал, что это и хорошая и, главное, добрая женщина. Да... А когда я умру, она, может быть, одна проводит меня на кладбище, искренне поплачет над могилой и будет по-женски хорошо жалеть. Она и сейчас жалела, хотя и надоедала своей клиникой. Да, мне сделалось совестно, и я посмотрел на эту смешную Федосью совсем другими глазами.

Убедившись, что с клиникой ничего не поделаешь, Федосья обратилась к другим сред-

ствам. Она недолюбливала жиличку Анну Петровну, в которой ревновала женщину, но для меня примирилась с ней. Я это сразу понял, когда в одно непрекрасное февральское утро Анна Петровна постучала в дверь моей комнаты и попросила позволения войти.

— Пожалуйста...

Девушка вошла с немного сконфуженным видом, вероятно, припоминая нашу ссору из-за Любочки.

— Вы больны, Попов?

— Да, что-то нездоровится... Так, пустяки.

— Какие же пустяки... Вы ничего не будете иметь, если я вас выслушаю?

— Вы, кажется, начинаете смотреть на меня, как на медицинский препарат?

Медичка строго сложила губы и сделала вид, что не расслышала моего ответа.

— Впрочем, как хотите... — поправился я. — Вам полезно поупражняться в перкуссии...

— Да, да, именно полезно.

Я отдался в ее распоряжение и стал вслушиваться в постукиванье молотка, который разыгрывал на моей груди оригинальную ме-

лодию. Левое легкое было благополучно, нижняя часть правого тоже, а в верхушке его послышался характерный тупой звук, точно там не было хозяина дома и все было заперто. Анна Петровна припала ухом к пойманному очагу и не выдержала, вскрикнув с какой-то радостью:

— Взвизгивает... да, совершенно ясно взвизгивает!..

Она радовалась, как охотник, выследивший интересную дичь, и совершенно забыла обо мне. Я отлично понимал, что означает этот медицинский термин, и почувствовал, как у меня перед глазами заходили темные круги и «Федосьины покровы» точно пошатнулись. Я очнулся от легкого обморока только благодаря холодной воде, которой меня отпаивала Анна Петровна.

— Ничего... это бывает... — бормотала она смущенно. — Если уехать в Крым и взять там весну...

— Еще лучше, если уехать в Ментону... да. У меня притупление правого легкого?

— Да...

— Приятное открытие...

— Проклятый петербургский климат...

— И многое другое... Впрочем, очень благодарен вам.

— Необходимо урегулировать питание... хорошее вино... легкий моцион...

— Послушайте, не будем говорить об этом, Анна Петровна... У меня в кармане ровно двугривенный, а работать сейчас я не могу. Впрочем, все это пустяки...

Притупление легкого — это начало форменной чахотки. Из ста случаев один шанс остаться в живых, особенно когда в кармане двугривенный. Вот когда пригодились бы пропавшие за Райским деньги. Да, это был почти смертный приговор, а остальное все придет само собой в свое время. И время стояло проклятое: конец февраля. До петербургской кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполне понятное отчаяние... Благодаря занятиям в медицинской академии я отлично знал, как систематически пойдет весь процесс, пока из живого человека не получится cadaver.[120] Неужели все кончено и нет спасения? Я носил уже смерть в собственной груди, и будущее заключалось только в посте-

пенном разложении живого тела. Молодой неокрепший организм так быстро реагирует в таких случаях, и пламя жизни потухает, как те светильники, в которые евангельские девы позабыли налить масла.

О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за несделанное, непережитое, неосуществленное. Прежде всего больная мысль унесла меня на родной благодатный юг, под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не должны ничего знать, пока все не разрешится в ту или другую сторону. Бедная мать... Как она будет плакать и убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми которых вымощены петербургские кладбища. Приехать домой больным и отравить себе последние дни видом чужих страданий — нет, это невозможно. Тем более что во всем виноват я сам, и только я сам. Моя болезнь — только результат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права огорчать других, получая достойную кару за свое недостойное поведение.

Да, я по косточкам разобрал всю свою

недолгую жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы можно было начать жить снова... Неужели нет спасенья и со мной умрет все будущее? По скрытой ассоциации идей я припомнил Александру Васильевну, какой я видел ее на балу. Ведь это было так недавно, чуть не на днях... Да, она такая молодая, свежая, полная сил... На меня смотрели эти чудные девичьи глаза, а в них смотрело счастье, любовь и целый ряд детских глаз — да, глаза тех наших детей, в которых мы должны были продолжиться и которых мы никогда-никогда не увидим. Мне безумно захотелось видеть ее и сказать, как я ее любил, как мы были бы счастливы, как прошли бы всю жизнь рука об руку... Разве написать ей? Может быть, она приедет...

А кругом стояла немая ночь. В коридоре почикивали дешевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт измученное сердце. Я садился на своей кушетке и смотрел в темное пространство, из которого выступал целый ряд картин. Голые ноги пове-

сившегося канатчика, пьяная улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любочки... Меня охватывала мучительная жажда жизни, именно — жажда. Я не хочу умирать... слышите?.. Я хочу жить, любить, работать, давать жизнь другим. Не правда ли, я ведь еще так молод, и это было бы величайшей несправедливостью — умереть на рассвете жизни. Я, наконец, не настолько испорченный человек, чтобы не мог исправиться. Ведь живут же никому не нужные старики и старухи, калеки и нищие, разбойники и просто негодяи, безнадежные пьяницы и совсем лишние люди? Зачем именно я должен умереть?..

Глава 31

Болезнь с неудержимой быстротой шла вперед. Я уже решил, что все кончено. Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, — и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конечно, жаль, но все равно ничего не поделаешь. Человек, который, провожая знакомых, случайно остался в вагоне и едет совсем не туда, куда ему нужно, — вот то ощущение, которое меня преследовало неотступно.

Но я не был один. Федосья зорко следила за мной и не оставляла своими заботами. Мне пришлось тяжелым личным опытом убедиться, сколько настоящей хорошей доброты заложила природа в это неуклюжее и ворчливое существо. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, а так, просто, потому что другой она не умела и не могла быть.

— А я вам парного молока добыла... — както конфузливо-сурово сообщала Федосья, глядя куда-нибудь в сторону. — У дворника есть курицы, так тоже скоро нестись будут. Свежее яичко хорошо скушать. Вот если бы красного

вина добыть...

На последнем пункте политическая экономия Федосьи делала остановку. Бутылка вина на худой конец стоила рубль, а где его взять... Мои ресурсы были плохи. Оставалась надежда на родных, — как было ни тяжело, но мне пришлось просить у них денег. За последние полтора года я не получал «из дома» ни гроша и решился просить помощи, только вынужденный крайностью. Отец и мать, конечно, догадаются, что случилась какая-то беда, но обойти этот роковой вопрос не было никакой возможности.

Кроме физической стороны, Федосью занимала и психология болезни. Она решила про себя, что мне вредно оставаться одному, с неотвязной мыслью о своей болезни, и старалась развлекать меня, что оказалось труднее вопросов питания. По вечерам Федосья приходила в мою комнату, становилась у двери и рассказывала какой-нибудь интересный случай из своей жизни: как ее три раза обкрадывали, как она лежала больная в клинике, как ее ударил на улице пьяный мастеровой, как она чуть не утонула в Неве, как за нее сватал-

ся пьянчуга-чиновник и т. д. О себе она говорила, как о постороннем человеке, и все эти воспоминания сводились обязательно на что-нибудь неприятное. Вся жизнь Федосьи составляла одну сплошную неприятность. Когда этот личный материал исчерпался, Федосья перешла к жильцам, и я мог только удивляться ее наблюдательности. Она, как оказалось, отлично понимала бедствовавшую в ее конурах молодость и делала меткие характеристики. Впрочем, чужие злоключения и ошибки Федосья понимала по личному горькому опыту.

Раз Федосья заявилась с бутылкой дешевенького красного вина. Заметив мой недовольный взгляд, она поспешила оправдаться:

— Не мое вино-то... И бутылка почата... Это муж у Аграфены Петровны был именинник, так вино-то и осталось. Все равно так же бы слопали... Я как-то забежала к ней, ну, разговорились, ну, она мне сама и сует бутылку. А я не просила... Ей-богу, не просила. Она добрая...

Мне было совестно пользоваться любезностью почти совсем незнакомой женщины,

тем более что у меня явилось подозрение относительно правдивости Федосьи. Наверно, она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.

— Не хочу я вина... — решительно заявил я. — Не хочу, — и все тут.

Федосья отличалась большим упрямством и повела дело другим путем. В этот же день явилась ко мне сама Аграфена Петровна.

— Вы это что капризничаете? — напустилась она на меня без всяких предисловий. — Это я сама послала вам вино... Все равно испортилось бы. Я не пью, а мужу вредно пить. Одним словом, вздор...

Она осмотрела комнату и только покачала головой. На окне не было шторы, по углам пыль, мебель жалкая, — одним словом, одна мерзость. Мое девственное ложе тоже возбудило негодование Аграфены Петровны. Результатом этой ревизии явилось совершенно неожиданное заключение:

— Мы с вами будем играть в карты...

— Я не умею.

— А я научу. Будем играть в рамс... Я ужасно люблю. А вам необходимо развлечься

немного, чтобы не думать о болезни. Сегодня у нас что? Да, равноденствие... Скоро весна, на дачу поедем, а пока в картишки поиграем. Мне одной-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьмет. Баб я терпеть не могу, а одной скучно... Я вас живо выучу. Как жаль, что сегодня карт не захватила с собой, а еще думала... Этакая тетеря...

Аграфена Петровна была немного странная женщина и поражала неожиданными фантазиями. Одна из таких фантазий — ухаживать за «больным студентом». Хорошо было то, что она все делала как-то заразительно просто, с вечной улыбкой. На меня действовала больше всего именно эта простота. Так и пахнуло каким-то домашним теплом, уютным спокойствием и улыбающейся добротой. Каждое появление Аграфены Петровны сопровождалось какой-нибудь реформой: один раз переставлен был письменный стол, в другой — моя кушетка, в третий — стулья. Свою ненависть к Пепке она переносила и на его вещи и говорила: «Ну, этот и так живет»...

Вечера за картами проходили действительно веселые. Аграфена Петровна ужасно

волновалась и доходила до обвинения меня в подтасовке. Кажется, в репертуар развлечения больного входили и карточные ссоры. В антракты Аграфена Петровна прилаживалась к столу, по-бабьи подпирала щеку одной рукой и говорила:

— Ну, рассказывайте что-нибудь... Вы ведь были влюблены в эту пухлявку Наденьку. Не отпирайтесь, пожалуйста, я все знаю... Рассказывайте. Я люблю, когда рассказывают про любовь... Ведь вы были влюблены? да?

— Да, но только не в Наденьку.

— А в кого? Хотите, я сама съезжу к ней с письмом?.. Она, наверно, не знает, что вы больны. О, как это хорошо — любить!.. Особенно когда весна, цветы, соловей... Вы любите луну? Когда я смотрю на луну, мне почему-то хочется плакать.

Эти разговоры вызвали во мне желание поделиться своей тайной. Все равно умру, и никто не узнает. Аграфена Петровна выслушала мою исповедь с широко раскрытыми глазами и в такт рассказа качала головой.

— И только? — удивилась она, когда я кончил.

— Что же вам еще нужно?

— Как что? Даже ни разу не поцеловать хорошенькой девушки? Да вы просто мямля и тюфяк... Вас никогда женщины не будут любить. Не может же девушка первая броситься на шею к мужчине... Первый шаг должен сделать он.

— Я не хотел повторять историю с Любочкой...

— Что же, она сама виновата, если позволила себе слишком много. Есть известная граница... да. Не забывайте, что жизнь так и пройдет меж пальцев, а спохватитесь — уже поздно. Я вашего Пепку презираю, но он не теряет напрасно времени. Он — настоящий мужчина.

— Извините меня, но я вас не понимаю...

— А вы — мямля... Что же будет, если молодые люди не будут целовать девушек?.. Всё книжки да книжки, а когда же жить?.. Хотите, я съезжу к этой Александре Васильевне и привезу ее сюда? Адрес узнаю в адресном столе или у Наденьки.

— Нет, нет...

— Ну, это другое дело: значит, вы ее не лю-

били по-настоящему. Если она любит, то приедет... Пешком придет и меня еще благодарить будет.

Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. Особенно донимал холодный пот. Сидишь — и вдруг всего точно обольет холодной водой, а потом сейчас же наступало страшное бессилие. Я чувствовал, как жизнь выходила всеми порами и уничтожение близилось. Особенно тяжелы были бессонные ночи... Чего-чего не передумаешь в такую ночь! Обидно было то, что наступала весна, все готовились к ней, в газетах появились объявления о дачах... А там, на юге, уже совсем хорошо. Скоро тронутся реки, высыплет первая зеленая травка, весело запестреют первые цветы. Мысль о доме все чаще и чаще посещала меня, подрывая нежелание огорчать родную семью своей смертью на глазах у всех. Кажется, я решился бы уехать на юг, если бы не Аграфена Петровна.

Она явилась раз с известием, что наняла дачу.

— Будем вместе жить, — решила она за меня. — Я буду ухаживать за вами... У вас будет

своя комната; я сама готовлю обед и откормлю вас. Все зависит от еды, а лекарства — пустяки...

— А где вы наняли дачу?

— В Третьем Парголове... Там отлично. Один Шуваловский парк чего стоит... Кстати, у вас там есть свои приятные воспоминания. Одним словом, все отлично...

Мне оставалось только благодарить за внимание. Оставалась надежда на чистый воздух начинавшейся Финляндской возвышенности. Да, там хорошо...

Я плохо помню, как время дотянулось до конца апреля. Взглянув на себя в зеркало, я даже испугался: это был какой-то живой скелет.

Мой друг Пепко совершенно забыл обо мне, предоставив меня своей участи. Это было жестоко, но молодость склонна думать только о самой себе, — ведь мир существует только для нее и принадлежит ей. Мы почти не говорили. Пепко изредка справлялся о моем здоровье и издавал неопределенный носовой звук, выражавший его неудовольствие:

— Да... Гм...

Он почти все время проводил в комнате у Анны Петровны и был счастлив.

Накануне отъезда Аграфена Петровна пришла собрать мои вещи и уложила все в чемодан. Вещей было так немного, а место еще оставалось. Она так посмотрела кругом, что мне показалось, что она и меня с удовольствием тоже уложила бы в чемодан. Я невольно засмеялся.

— Вы это чему смеетесь, мямля?

Она присела ко мне на кушетку, пощупала мой лоб, покачала головой, а потом быстро наклонилась и поцеловала прямо в губы с энергией, излишней для больных. Через ее плечо я видел, как в дверях показалась фигура Пепки и благочестиво скрылась.

Глава 32

Перед самым отъездом на дачу ко мне завернула Любочка. Она имела самый несчастный вид: исхудала, пожелтела и не обращала даже внимания на свой костюм, — последняя степень женского отчаяния. Она даже не знала, зачем пришла, что ей нужно было сказать и что делать. Это была тень живого человека. У меня сжалось сердце при виде убитой девушки. Все что-то делали, куда-то стремились, чего-то желали и на что-то надеялись; одна она была выкинута из этого живого круга, обреченная на специально женскую муку мученическую. Зашла в мою комнату, огляделась кругом с каким-то детским удивлением и присела на стул, позабыв даже поздороваться с хозяином.

— Как поживаете, Любочка?

— Я? не стоит говорить...

Она даже улыбнулась какой-то больной улыбкой. Я не знал, что говорить и что делать с ней. Ее безмолвное присутствие начинало меня тяготить. Есть известная граница, до которой чужое горе нас трогает, а дальше этой

границы оно начинает раздражать, как плач или крик. Именно так и я посмотрел на Любочку. Что же в самом деле, ведь нельзя же заставить человека полюбить насильно! Я не оправдывал Пепку, но, с другой стороны, и Любочка разыгрывала трагедию не по нашему серенькому времени. Что такое любовь? Разве может быть любовь без взаимности? Представление об этом чувстве у меня, признаюсь, было довольно смутное, и я не мог понять, как это люди теряют голову и всякое самообладание. Опять является вопрос о границах... Потом мне было как-то совестно за Анну Петровну, являвшуюся в роли злой разлучницы. Как будто и нехорошо... Возникал неразрешимый вопрос о женском соперничестве, не предусмотренный никакими кодексами и сводами законов. Для меня ясно было одно, — именно, что Анна Петровна, охваченная эгоизмом собственного чувства, устраняла Любочку без всякого сожаления, и поэтому я смотрел на настоящую живую Любочку, сидевшую передо мной, с тем сожалением, на какое она имела право рассчитывать.

— Вам что-нибудь нужно, Любочка?

— Мне? Нет, ничего не нужно... Ах, нет, очень, очень нужно...

Любочка поднялась и кинулась мне в ноги.

— Уговорите Агафона Павлыча... Он вас послушает... — шептала она, заливаясь слезами. — Вы все знаете... Скажите ему...

— Любочка, встаньте...

— Не встану, если вы не пообещаете. Умру вот здесь... у вас... Ну, что вам стоит? Вы мне дайте честное слово, самое честное слово...

Несчастная ничего не понимала и ничего не желала понимать. Я ее насильно поднял, усадил и дал воды. У меня от слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затем я, по логике всякой слабости, возненавидел Любочку. Что она ко мне-то пристает, когда я сам едва дышу? Довольно этой комедии. Ничего знать не хочу. До свидания... Любочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и только теперь заметила, как я хорош, — краше в гроб кладут.

— Я больше не буду, Василий Иваныч... — как-то по-детски покорно проговорила она, поднимаясь со стула. — Я уйду сейчас... Вы больны.

— Да, да, болен, черт возьми! Умираю, а вы ко мне лезете с вашими пустяками... Какое мне дело до вас? Зачем вы пришли ко мне?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня начался пароксизм жестокой лихорадки. И опять этот пот... В последнее время начали появляться признаки апатии. Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоит ли жить вообще, когда столько гадостей кругом и когда в самом тебе эти же гадости таятся в зачаточном состоянии, потому что не выпало еще подходящего случая им реализоваться. И что такое смерть сама по себе? Во-первых — абсолютный покой, во-вторых — вопрос моей личной хронологии. Ведь все равно умирать когда-нибудь придется, сколько ни живи, и только одна иллюзия, что мне не нужно умирать и не нужно умирать именно сейчас, в данный момент. В болезнях есть своя философия.

На дачу я готовился переезжать в очень дурном настроении. Мне все казалось, что этого не следовало делать. К чему тревожить и себя и других, когда все уже решено. Мне казалось, что еду не я, а только тень того, что

составляло мое я. Будет обидно видеть столько здоровых, цветущих людей, которые ехали на дачу не умирать, а жить. У них счастливые номера, а мой вышел в погашение.

Мой добрый гений Аграфена Петровна сама уложила мои вещи, покачивая головой над их скудным репертуаром. Она вообще относилась ко мне, как к ребенку, что подавало повод к довольно забавным сценам. Мне даже нравилось подчиняться чужой воле, чтобы только самому ничего не решать и ни о чем не думать. Это был эгоизм безнадежно больного человека. Ухаживая за мной, Аграфена Петровна постоянно повторяла:

— Андрей Иваныч всегда так делает... Андрей Иваныч это любит... Андрей Иваныч терпеть не может, чтобы кто-нибудь подходил к его письменному столу.

Одним словом, этот неизвестный мне Андрей Иваныч, казалось, наполнял всю вселенную и для Аграфены Петровны являлся чем-то вроде той атмосферы, которая окружает земной шар. Выражаясь фигурально, можно было подумать, что она дышала им. Я понимал только одно, что дома этот всеобъемлю-

щий и всенаполняющий Андрей Иваныч являлся только дорогим гостем, а делала всю «домашность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и все укладывала, и перевозила на дачу весь скарб, и там все приводила в новый порядок, и делала все так, чтобы Андрею Иванычу было и удобно, и беззаботно, и хорошо. Разве Андрей Иваныч понимает что-нибудь в этих домашних дрязгах? Он лампы не умеет зажечь. Я почему-то вперед возненавидел этого трутня, который потерял всякий облик мужчины, как главы дома. Да, мужчина должен строить свое гнездо, оберегать и защищать его, а не сваливать всю работу на женские плечи. Меня возмущало это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понял, что в медичке Анне Петровне есть родственные черты: она точно так же ухаживала за своим Пепкой и так же его баловала. Одним словом, обе сестры принадлежали к типу тех женщин, которые создают культ мужчины и всю жизнь служат кому-нибудь. Несчастная Любочка принадлежала к этому же типу, хотя ей и выпал дурной номер...

Пепку я видел совсем мало. Между нами

установились какие-то глупые, натянутые отношения. Я чувствовал, что он меня ненавидит, и понимал, что единственным основанием этой ненависти было только то, что я все-таки оставался живым свидетелем его истории с Любочкой. Он видел во мне какой-то упрек себе и помеху своему счастью, и я уверен, что был бы рад моей смерти. О, Пепко был величайший эгоист, который думал, что мир скромно существует только для него! Перед моим отъездом он соблаговолил сказать мне несколько теплых слов:

— Всего лучшего, collega... Надеюсь, что ты не будешь терять даром своего маленького дачного времени. Аграфена Петровна такая добрая... Желаю успеха.

Это был намек на тот поцелуй, свидетелем которого невольно сделался Пепко. Он по своей испорченности самые чистые движения женской души объяснял какой-нибудь гнусностью, и я жалел только об одном, что был настолько слаб, что не имел силы проломить Пепкину башку. Я мог только краснеть остатками крови и молча скрежетал зубами.

— А ты куда помещаешь свою особу на ле-

то? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю еще хорошенько: в Павловск или в Ораниенбаум.

У Пепки были совершенно необъяснимые движения души, как в данном случае. Для чего он важничал и врал прямо в глаза? Павловск и Ораниенбаум были так же далеки от Пепки, как Голконда и те белые медведи, которые должны были превратиться в ковры для Пепкиных ног. По-моему, Пепко был просто маниак. Раз он мне совершенно серьезно сказал:

— Ты обратил внимание на мой профиль? Это профиль человека, который ездит на резине, имеет свои собственные дома, дачу в Крыму, лакея, который докладывает каждый день о состоянии погоды, — одним словом, живет порядочным человеком. По-моему, все зависит от профиля... Возьми историю Греции и Рима — вся сила заключалась только в профиле.

Забавнее всего было то, что профиль Пепки требовал серьезных поправок и даже снисхождения, но он серьезно гордился им и при разговоре часто поворачивал голову в три

четверти, как настоящий актер.

Аграфена Петровна уехала на дачу раньше, чтобы окончательно все там приготовить. Я должен был тронуться с места только через два дня. Помню, как свежий весенний воздух пьянил меня и как моя голова кружилась в смертельной истоме. Я едва доехал до Финляндского вокзала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суета раздражала меня. Куда они все торопятся, о чем хлопочут, чему радуются, когда нужно только одно — чтобы не кружилась голова и не ныла зловеще грудь? Мне казалось, что вокзал — это моя собственная голова и что в этой собственной голове торопятся, бегут и кружатся все эти пассажиры. Я чувствовал, как все куда-то плывет, сливаясь в одну мутную полосу. Из этого забытья меня выводил какой-то неугомонный пассажир, жужжавший около меня, как осенняя муха. Это был мужчина в критическом возрасте, в котелке и золотом пенсне. Сначала он потерял свои вещи, потом свою даму в синей вуали, потом еще что-то — вообще он ужасно суетился, представляя своей особой типичный образчик дачного мужа. Да-

ма в синей вуали, видимо, капризничала и говорила несчастному очень обидные и ядовитые вещи, потому что он делал умоляющее лицо и начинал виновато улыбаться, как только что наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрешения, он пускался на отчаянное средство: навешивал на себя все картонки, узелки, пакеты и свертки, брал в руки саквояжи, подмышки два дамских зонтика и превращался в одного из тех фокусников, которые вытаскивают все эти вещи из собственного носа и с торжеством удаляются со сцены, нагруженные, как верблюды. Этот маневр бедняге удавался, и дама в синей вуали улыбалась. Мне эта немая сцена семейного дачного счастья порядочно надоела, и я хотел переменить место, чтобы избавиться от дачного мужа, начинавшего уже поглядывать на меня с заискивающей улыбкой человека, который вот-вот любезно заговорит с вами о погоде. Но мой маневр не удался. Я только что поднялся, как дачный муж остановил меня.

— Извините, пожалуйста... — бормотал он. — Если я не ошибаюсь, вы Василий Иваныч Попов?

— К вашим услугам...

— Представьте себе, я узнал вас по описанию жены... Ведь вы едете в Третье Парголово? Ваши вещи отправлены раньше? Видите, как я все знаю...

Мне оставалось только удивляться догадливости дачного мужа, который взял меня под локоть, таинственно отвел меня в сторону и проговорил шепотом:

— Имею честь представиться: Андрей Иваныч... Слышали?.. Хе-хе... До некоторой степени ваш хозяин, то есть я-то тут ни при чем, а все Агриппина, да. Так вот видите ли... гм... да... Я провожаю в Шувалово одну даму... да... моя дальняя родственница... да... Так вы того... В случае, зайдет разговор, ради бога не проболтайтесь Агриппине... Она такая нервная... Одним словом, вы понимаете мое положение.

— О, совершенно понимаю...

Дачный муж схватил меня за руку и крепко пожал ее, точно давал взятку.

— Мне сорок лет, и в эти года показаться смешным — смерть... — бормотал он, заискивающе улыбаясь. — Вы меня понимаете, од-

ним словом...

Дама в синей вуали сделала демонстративное движение, и Андрей Иваныч бросился к ней с такой поспешностью, как бегут вытаскивать из воды утопающего.

Для начала встреча вышла недурная. Знаменитый Андрей Иваныч, не умевший зажечь лампы, проявлял настоящий талант вьючного животного. Эта чета повторяла с небольшими вариациями моих первых квартирных хозяев.

Глава 33

Я опять в Третьем Парголове. У нас исправляет обязанность дачи простая деревенская изба, оклеенная внутри дешевенькими дачными обоями... Мое помещение вверху, на чердаке, — летняя комната, — ужасно напоминает большой гроб, потому что потолок сделан именно гробовой крышкой. Ничего, скверно, особенно в холодные дни. Вся жизнь семьи Андрея Иваныча выяснилась до мельчайших подробностей в несколько дней, как жизнь большинства петербургских чиновничьих семей. Дома Андрей Иваныч изображал

из себя божка-мужчину и пользовался всеми привилегиями своего божественного состояния. Доходило до того, что «Агриппина» знала все его похождения и снисходила. Это унижение меня возмущало.

— Да ведь он мужчина? — удивлялась в свою очередь Агриппина. — У него каждый год новая привязанность... Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что он никуда от меня не уйдет...

— Действительно, счастье большое, — иронически соглашался я.

— А как бы вы думали? О, вы совсем не знаете жизни... Потом, он ни одной ночи не провел вне дома. Где бы ни был, а домой все-таки вернется... Это много значит. Теперь он ухаживает за этой старой девой... Не делает чести его вкусу — и только.

Сам Андрей Иваныч в шутливом тоне очень любил поговорить о своей новой привязанности и даже требовал внимания Агриппины к ней. В одно прекрасное утро незнакомка в синей вуали сидела у нас на балконе и кисло улыбалась. Я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Блондинка, с гряз-

новатым цветом волос, лицо маленькое, покрытое веснушками, детская картавость и претензии на манеры женщины «из общества». Звали ее Анжеликой Карловной. Меня лично она возмущала, как живое воплощение всевозможной кислоты. Очевидно, желание познакомиться с Агриппиной было ее капризом, и Андрей Иваныч крутился, как береста на огне. Терпимость Аграфены Петровны меня тоже возмущала.

— О, у Агриппины своя политика! — объяснял мне конфиденциально Андрей Иваныч. — Ей нравится, что я нравлюсь женщинам... А это главное. Хе-хе... Анжелика в меня влюблена, как кошка.

Это было повторением мании Пепки, что все женщины влюблены в него. Но за Пепкой была молодость и острый ум, а тут ровно ничего. Мне лично было жаль дочери Андрея Иваныча, семилетней Любочки, которая должна быть свидетельницей мамашиного терпения и папашиных успехов. Детские глаза смотрели так чисто и так доверчиво, и мне вчуже делалось совестно за бессовестного петербургского чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было настоящее чудо, которому я был обязан только начинавшемуся финляндскому предгорию. Целые дни я проводил в Шуваловском парке, где дышал озонированным воздухом финляндского леса. Может быть, молодость брала свое, но я свое исцеление приписываю только парку. Да, я приехал сюда умирающим, а через две недели почувствовал уже облегчение и первый прилив сил: пораженная верхушка легкого начала рубцеваться. Я не верил, что спокойно начинаю спать, что у меня явился аппетит, что весь мир точно изменился сразу, а главное — на душе было так хорошо и радостно. Нужно иметь свою привычку даже к здоровью, как я убедился по личному опыту. Просыпаясь утром, я задавал себе целый экзамен и упорно подыскивал какие-нибудь признаки болезни. Но их не было, кроме слабости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, как мать, и торжествовала. Я чувствовал постоянно на себе ее пристальный взгляд, и это внимание доставляло мне удовольствие. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться и производила мне свой

собственный экзамен: на первом плане аппетит, потом сон, потом настроение духа.

— Все болезни бывают от огорчений, — уверяла она совершенно серьезно. — Уж это верно... Как у человека неприятность, так он и заболевает. Я это знаю по себе.

Утром, напившись парного молока, я уходил в Шуваловский парк и гулял здесь часа три, вспоминая прошлое лето и отдаваясь тем юношеским мечтам, которые несутся в голове, как весенние облачка. И жутко, и хорошо, и какая-то смутная тоска охватывает... Я вспоминал Александру Васильевну, — где-то она теперь, бедная? — мне именно казалось, что она бедная и что я почему-то должен ее жалеть. Потом мне хотелось ее от чего-то защищать, утешить, приласкать — просто унести в какой-то неведомый край, где и светло, и хорошо, и цветут сказочные цветы, и поют удивительные птицы, и поэтически журчат фонтаны, и гуляет «девушка в белом платье», такая чудная и свежая, как только что распустившийся цветок. Нет, хорошо жить! Мысль о смерти, как грозовая туча, унеслась далеко-далеко. Да, мы будем жить, девушка в бе-

лом платье, и вы живите, и все пусть живут, и пусть все любят друг друга. Не нужно слез, горя, нужды, неправды... Это радостное и восторженное настроение нарушалось только воспоминанием о бедном Порфире Порфирыче, — я именно теперь почему-то часто думал о нем и тоже жалел бедного старика, как Александру Васильевну. Вот он уже не увидит больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни зелени, ни цветов... Мысль о смерти теперь придавала особенно интенсивную окраску всему живому. Как коротка жизнь, как мало у каждого осталось впереди дней и как нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даром. Я мечтал с открытыми глазами, подавленный этой жаждой жизни. Повторялись прошлогодние муки творчества, и мне иногда казалось, что я начинаю сходить с ума. Меня окружала уже целая толпа моих будущих героев и героинь, которым я дам жизнь. Я их уже чувствовал и почти видел, то есть видел опять самого себя в разных положениях. Я любил всех этих женщин, я им всем говорил такие хорошие слова, я объяснял им самих себя, и они отвечали мне таки-

ми благодарными улыбками, влюбленными взглядами, — да, они будут любить меня, ловить каждое мое слово и будут счастливы.

Переложить этот бред на бумагу, конечно, не было никакой физической возможности, и я ограничивался тем, что заносил отдельные сцены, характеристики и описания в свою записную книжку. Может быть, все это было смешно, но мне доставляло громадное наслаждение быть таким смешным мечтателем. Я идеализировал встречавшихся в парке дачников и в них продолжал свои мечты. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье! В порыве такого отождествления я раз машинально забрел на чужую дачу и очень сконфузился, увидев реальных людей.

Это возвышенное настроение совпадало с твердым намерением начать новую жизнь. Да, все старое кончено и никогда больше не повторится. Прощай, милая «академия», прощай, о ты, коварный друг Пепко!.. Я с ужасом припоминал последние два года, проведен-

ные в этом милом обществе. Взять хоть прошлое пьяное лето с кутежами в «Розе» и разными дурацкими похождениями до пьяного безобразия включительно. Кончено, все кончено... Будем жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошел мимо своей прошлогодней избушки, не заглянул в «Розу», не полюбопытствовал, как живет во Втором Парголове «девушка в белом платье».

Раз я гулял в парке, занятый планом какой-то фантастической легенды, — мне было уже тесно в рамках обыкновенного существования обыкновенных смертных, — как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся и остолбенел: меня догонял Пепко. Он был в летнем порванном пальто и с газетой в руках, — признак недурной...

— Вася, постой...

— Пепко, ты ли это? Ведь ты живешь в Павловске?

— Как ты легкомыслен, мой друг... Кто живет в Павловске? Разжиревшая буржуазия, гнусные аристократы, бюрократы, гвардейцы, а я — мыслящий пролетариат. Представь себе, что я живу в двух шагах от тебя, — зна-

ешь Заманиловку? Это по дороге к доброй фее... Я, брат, нынче шабаш: ни-ни. Запрещено все.

Пепко тревожно посмотрел в соседнюю аллею, где на скамейке виднелась женская фигура, и сбавил шагу.

— Я тоже шабаш, — признался я.

— Ты-то с какой стати? — укоризненно заметил Пепко и сделал неодобрительное движение головой. — Впрочем, всякий дурак по-своему с ума сходит.

Потом он остановился, трагическим жестом указал на скамью с женской фигурой и трагически проговорил:

— Видишь — скамья? Кажется, просто... На скамье сидит дама — кажется, еще проще? Да... А между тем это не скамья и не дама, а мое несчастье, моя погибель, моя могила. Да, да, да... Она, то есть дама, а не скамья, довела меня до того, что я разорвал самые священные узы дружбы, я готов был отречься даже от своей одной доброй матери... Она стоит над моей душой и сторожит каждую мысль, — одним словом, это самое ужасное из всех рабств... Вот сейчас я разговариваю с то-

бой, а сам трепещу... А чего боюсь? Боюсь, голубчик, этих слез, этих немых упреков, этого вечного домашнего сыска... Я больше не принадлежу себе, как не принадлежит самой себе какая-нибудь вещь домашнего обихода. Боже мой, как я завидую тебе, то есть твоей свободе! Я когда увидел тебя, первой мыслью было броситься, догнать и сказать: «Милый, родной, беги от женщины»... О, я знаю, что такое женщина! И знаешь, что в женщинах самое ужасное: они все напоминают друг друга, как дождевые капли. Образованная Анна Петровна делает то же самое, что делала глупенькая Любочка... Она меня ревнует даже к неодушевленным предметам, к моим тайным мыслям. А самое скверное то, мой друг, что Анна Петровна — умная, развитая, хорошая женщина... О, от этой, брат, никуда не уйдешь! Она, брат, все видит... Она создаст из жизни такую пытку, что позавидовал бы сам святой отец Игнатий Лойола. Знаешь, иногда я мечтаю, — потихоньку от нее мечтаю, — отчего я не женился на Федосье? Чтобы она, Федосья, была старая и рябая, и чтобы у нее был любовник, скверный солдат, и чтобы этот сквер-

ный солдат меня бил...

— Пепко, ты по своей привычке преувеличиваешь... Вероятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная ссоришка.

Пепко захохотал, а потом спохватился, закрыл рот рукой и даже спрятался за меня. Потом он взял меня за руку и повел назад.

— Пусть она там злится, а я хочу быть свободным хоть на один миг. Да, всего на один миг. Кажется, самое скромное желание? Ты думаешь, она нас не видит?.. О, все видит! Потом будет проникать мне в душу — понимаешь, прямо в душу. Ну, все равно... Сядем вот здесь. Я хочу себя чувствовать тем Пепкой, каким ты меня знал тогда...

Мы сели. Пепко развернул свою газету, поискал что-то глазами и расхохотался, как это с ним случалось, — расхохотался без всякой видимой причины.

— На, читай... — ткнул он мне газету, отмечая ногтем столбец.

Газета трактовала о герцеговинском восстании и что-то такое о Сербии. Я за время своей болезни отстал от печатной бумаги и никак не мог понять, что могло интересовать

Пепку.

— Ты не понимаешь? — удивлялся Пепко.

— Ровно ничего не понимаю...

— А независимость Сербии? Зверства турок? Первые добровольцы? И теперь не понимаешь? Ха-ха!.. Так я тебе скажу: это мое спасение, мой последний ход... Ты видишь, вон там сидит на скамейке дама и злится, а человек, на которого она злится, возьмет да и уйдет добровольцем освобождать братьев славян от турецкого зверства. Ведь это, голубчик, целая идеища... Я даже во сне вижу этих турок. Во мне просыпается наша славянская стихийная тяга на Восток...

— Ну, это будет не совсем на Восток.

— Э, не все ли равно!..

— Анна Петровна знает твои намерения?

— В том-то и дело, что ничего не знает... ха-ха!.. Хочу умереть за братьев и хоть этим искупить свои прегрешения. Да... Серьезно тебе говорю... У меня это клином засело в башку. Ты только представь себе картину: порабощенная страна, с одной стороны, а с другой — наш исторический враг... Сколько там пролито русской крови, сколько положено голов, а

идея все-таки не достигнута. Умереть со знаменем в руках, умереть за святое дело — да разве может быть счастье выше?

— Однако Анна Петровна...

— Вот, вот... Что мне может сказать Анна Петровна, когда я в одно прекрасное утро объявлюсь пред ней добровольцем? Ведь умные-то книжки все за меня, а тут я еще поеду корреспондентом от «Нашей газеты». Ха-ха... Ради бога, все это между нами. Величайший секрет... Я хотел сказать тебе... хотел...

Пепко как-то сразу сорвался с места и, не простившись со мной, бросился догонять уходившую Анну Петровну. Пепко был неисправим...

Глава 34

Славянский патриотизм Пепки мне показался для первого раза просто мальчишеской выходкой, одной из тех смешных штук, какие он любил выделывать время от времени. Но вышло гораздо серьезнее. Он дня через два после нашей встречи зашел ко мне и потащил в «Розу».

— Зачем идти в трактир? — слабо протестовал я. — Напились бы чаю у меня и потолковали...

— Нет, не могу, Вася. Мне нужен этот трактирный воздух... И чтобы трактир был такой, с грязцой: салфетки коробом, заржавленные, у лакеев фраки в пятнах, посуда разномастная, у буфетчика красный нос, — одним словом, полное великолепие. Да... Я ведь, кроме чая, ни-ни.

Последнему я позволил себе не поверить.

— Стакан чаю, — приказал Пепко грязному лакею и посмотрел на него таким вызывающим взглядом, точно спросил яду.

Мне доктор советовал для восстановления сил пить пиво, и стоицизм Пепки подвергал-

ся серьезному искусу. Но он выдержал свое «отчаяние» с полной бодростью духа, потому что страдал жаждой высказаться и поделиться своим настроением. На него нападала временем неудержимая общительность. Прихлебывая чай, Пепко начал говорить с торопливостью человека, за которым кто-то гонится и вот-вот сейчас схватит.

— Видишь ли, Вася... я много думал... Ночи даже не сплю. В самом деле, если разобрать: какая наша жизнь? Одно сплошное свинство... Мы даже любить не умеем, а только тянем один из другого жилы... Да... Мне просто опротивело жить, есть, дышать, смотреть. Понимаешь: не хочу. Для чего я сейчас хлебаю вот это пойло? Неизвестно, а пойло негодное и ненужное. И все так... Мы всю жизнь именно делаем то, что нам не нужно. Я дошел до того, что эту ложь вижу даже в неодушевленных предметах: вот возьми хоть этот трактирный садишко — ведь деревья только притворяются деревьями, а в сущности это зеленые лакеи, которые должны прикрывать своей тенью пьяниц, влюбленные парочки и всякую остальную трактирную гадость. Понима-

ешь, я не верю вот этим зеленым листьям — они тоже лгут, потому что в сущности не листья, а черт знает что. Разве услужающий, буфетчик, тапер — люди? Мне кажется, что и стулья притворяются стульями, столы — столами, салфетки — салфетками и что больше всех притворяюсь я, сидящий на этих стульях и утирающий свою морду этими салфетками. Ты меня понимаешь?

— Порыв раскаяния в национальном стиле. Остается только выйти куда-нибудь на Красную площадь, подняться на высокое место лобное и оттуда раскланяться на все четыре стороны: «Прости, народ православный».

— Да, да, именно. Так делал Иван Грозный, Стенька Разин, Емелька Пугачев... Это наше. Ни Мария Антуанетта,[121] ни Луишка Сез [122] так не делали, когда их привели к гильотине. Да, это наше... И за этим, знаешь, что стоит: мучительнейшая жажда подвига, искупления. Ведь в каждом русском человеке сидит именно такой подвижник. Я нынче читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижническую черту. Это

стихийная сила, с которой даже невозможно считаться. Они, подвижники, тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, то есть настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига, искупления...

— Одним словом, желаешь быть добровольцем?

— Да, да... Ты представь себе, что и другие тоже мучатся, как я, и тоже ищут подвига. Мы не знаем друг друга, но уже вперед делаемся братьями по душе.

— Извини, я сделаю одно замечание: большую роль в данном случае играет декоративная сторона. Каждый вперед воображает себя уже героем, который жертвует собой за любовь к ближнему, — эта мысль красиво окутывается пороховым дымом, освещается блеском выстрелов, а ухо слышит мольбы угнетенных братьев, стоны раненых, рыдания женщин и детей. Ты, вероятно, встречал охотников бегать на пожары? Тоже декоративная слабость...

— Ну, уж извини, пожалуйста. Тоже рус-

ская черта: по всякому поводу предаваться дешевенькому скептицизму. Ничего ты не понимаешь, Вася, и мне просто жаль, этак просто, по-хорошему жаль... Да, я могу ошибиться, я преувеличиваю, идеализирую, — все, что хочешь, но все-таки я переживаю известный подъем духа и делаюсь лучше.

В доказательство Пепко достал из кармана целую пачку вырезок из газет, в которых описывались всевозможные турецкие зверства над беззащитными. По свойственному Пепке деспотизму он заставил меня выслушать весь этот материал, рассортированный с величайшей аккуратностью: зверства над мужчинами, зверства над женщинами, зверства над детьми и зверства вообще. В нужных местах Пепко делал трагические паузы и вызывающе смотрел на меня, точно я только что приготовился к совершению какого-нибудь турецкого зверства.

— Вася, пойдем вместе, — закончил Пепко, бережно укладывая драгоценные материалы. — Ей-богу... А то ведь исподличаешься, очерствеешь, заржавеешь.

— Ты забываешь, что я только что начал

поправляться. Кстати, что Анна Петровна?

— Пока она ничего не знает... Я ей который день читаю о зверствах. Знаешь, нужно подготовить постепенно. Только, кажется, она не из тех, которые способны признавать чужие горести. Она эгоистка, как ты и как все вы. Она, во всяком случае, не понимает моего настроения, а настроение — все.

— Еще один нескромный вопрос: что Любочка? Она перед отъездом на дачу приходила ко мне...

— Она, конечно, разыскала меня в Заманиловке и устраивает мне скандалы. Придет к даче, сядет на лавочку и сидит целый день... Знаешь, это хуже всего. Моя Анна Петровна пилит-пилит меня... А при чем же я тут?.. Могу сказать, что женщины в нравственном отношении слишком специализируются. Да и какая это нравственность...

— И вдруг ты уезжаешь добровольцем, избавляясь разом от двух бед: не будет сидеть Любочка против дачи, и не будет пилить Анна Петровна... Это недурно...

— К сожалению, ты прав... Подводная часть мужской храбрости всегда заготовля-

ется у себя дома. Эти милые женщины кого угодно доведут до геройства, которому человечество потом удивляется, разиня рот. О, как я теперь ненавижу всех женщин!.. Представь себе, что у тебя жестоко болит зуб, — вот что такое женщина, с той разницей, что от зубной боли есть лекарство, больной зуб, наконец, можно выдернуть.

Пепко начал просто одолевать меня своим добровольческим настроением, и не проходило двух дней, чтоб он не тащил меня в «Розу» поделиться новыми зверствами. Дома Андрей Иваныч тоже читал жене о зверствах, так что я сам готов был превратиться в башибузука. Дело дошло до того, что Пепко и Андрей Иваныч соединились и принялись вместе устраивать в Шувалове какие-то герцеговинские вечера. Нужно заметить, что Аграфена Петровна относилась к Пепке как-то подозрительно и до сих пор не могла примириться с его ролью зятя. Для меня это было задачей. В последнее время Пепко начал приходить к нам, но старался не попадаться Аграфене Петровне на глаза.

— Ты ее боишься? — спросил я его одна-

жды.

— Агриппины? О да... Недостает, чтобы еще она бросилась мне на шею. Будет. Довольно... Я презираю всех женщин.

Относительно герцеговинских вечеров Аграфена Петровна составила себе сейчас же свое собственное мнение.

— Два дурака сошлись, — коротко объяснила она. — Еще мой-то Андрей Иваныч поумнее будет... Он хлопочет для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетершей или благотворительной продавщицей. А Пепко сам не знает, чего хочет. Удивляюсь я сестре Анюте...

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще это была странная женщина. Как-то ни с того ни с сего развеселится, потом так же ни с того ни с сего по-бабьи пригорюнится. К Андрею Иванычу она относилась, как к младенцу, и даже входила в его любовные горести, когда Андрей Иваныч начинал, например, ревновать Анжелику к какому-то офицеру.

— Это она тебя подвинчивает, — объясня-

ла Аграфена Петровна. — Все женщины так делают, когда начинают сомневаться в мужчине… Значит, Анжелика дорожит тобой.

— Ты в этом уверена, Агриппина?

— Спроси кого угодно… Даже Василий Иваныч понимает, а тебе-то стыдно не знать таких пустяков.

Относительно моей невинности Аграфена Петровна любила иногда прогуляться, и я чувствовал, что начинаю превращаться в младенца номер второй. В манере держать себя у нее было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и мне это не нравилось. Еще больше мне не нравилось любопытство Аграфены Петровны. По некоторым намекам я догадался, что она читает мои письма и мои рукописи. Это уже было слишком, и я раз откровенно ей заметил, что нехорошо простирать свое любопытство так далеко. Она вся вспыхнула и отреклась от всего начисто, как отпираются иногда дети.

— За кого вы меня принимаете, Василий Иваныч? — повторяла она, напрасно стараясь попасть в тон несправедливо обиженного человека. — И, наконец, какое мне дело…

— Я так, к слову...

В конце концов я сам уверился, что она права, и даже попросил извинения. Этого было достаточно, чтобы Аграфена Петровна расхохоталась и заявила:

— Читала, все читала... Не могла никак удержаться. И даже плакала над одной главой... Женское любопытство одолело. А вы сами виноваты, зачем не прячете того, чего я не должна читать. Не могу... Пойду убирать комнату, так меня и потянет взглянуть хоть одним глазком, что он такое пишет. Ах, если бы я умела писать...

— Сейчас бы Андрея Иваныча описали?

— Нет, другое...

У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она с печальной улыбкой проговорила:

— Я написала бы, что думает и чувствует одинокая женщина... Ведь все женщины в конце концов остаются одинокими. Вот вы этого-то, главного, и не понимаете, Василий Иваныч...

Вместе с выздоровлением у меня явилась неудержимая потребность к творчеству. Я

еще раз перебрал все свои бумаги, еще раз проверил написанное и еще раз убедился, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пережитая болезнь открыла мне глаза на многое, чего я раньше не понимал и не замечал. Приходилось начинать с новых опытов. Это была увлекательная работа, тем более что я уже не думал ни о редакциях, ни о публике, ни о критике, — не все ли равно, как там или здесь отнесутся к моей работе? Важно одно, именно, чтобы она до известной степени удовлетворяла самого автора и служила выражением его внутреннего человека. В этом все, а остальное пустяки. Журналы могут не печатать, публика не читать, критики разносить, — все это может быть одной случайностью, а важно только одно, именно, что у автора есть свое собственное содержание, свое я. Конечно, до известной степени он явится подражателем кого-нибудь из своих любимых авторов-предшественников, — это неизбежно, как детские болезни, — но автор начинается только там, где начинает проявлять свое я, где внесет свое новое, маленькое новое, но все-таки свое. До сих пор я дальше

Ивана Иваныча и «Кошницы» не мог пойти именно потому, что только бессознательно кому-то подражал, что писал о людях понаслышке, придумывал и высиживал жизнь.

Плодом этого нового подъема моего творчества явилась небольшая повесть «Межеумок», которую я потихоньку свез в Петербург и передал в знаменитую редакцию самого влиятельного журнала. Домашняя уверенность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности... Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем.

Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду встретить того же любвеобильно-

го старичка европейца. Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человечек с живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, а на его место появился взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил:

— Мы таких вещей не принимаем...

Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление... И от кого? Я его узнал по портретам. Это был громадный литературный человек, а в его ответе для меня заключалось еще восемь лет неудач.

Глава 35

Неудача «Межеумка» сильно меня обескуражила, хотя я и готовился вперед ко всевозможным неудачам. Уж слишком резкий отказ, а фраза знаменитого человека несколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный приговор. Вероятно, у меня был очень некрасивый вид, потому что даже Пепко заметил и с участием спросил:

— Опять обзатылили?

— Да и еще как...

Я рассказал свою «дерзость» и результаты оной, до уничтожающей фразы включительно.

— «Мы таких статей не принимаем»? — повторил Пепко ответ знаменитого человека, видимо, его смакуя. — Ну, а ты что же?

— Я? Кажется, я походил на собаку, которая хотела проникнуть в кухню и вместо кости получила палку... Вообще подлое чувство. День полного отчаяния, день отчаяния половинного, день просто сомнения в самом себе и в заключение такой вывод: он прав по-своему...

— Ах ты, мякиш!

— Не, не мякиш... Я буду там печататься и добьюсь своего. Эти неудачи меня только ободряют... Немного передохну — и опять за работу...

— История первого портного? Что же, не вредно... Могу только сочувствовать. Да... У нас вон тоже неудача: кассирша сбежала. А мы с Андреем Иванычем все-таки не унываем... да.

— Нашли занятие...

— И прекрасное занятие. Мы уже отправили триста рублей в славянский комитет. Лепта вдовицы по размерам, а все-таки лепта. Если бы каждый мог внести столько.

Пепко, как известно из предыдущего, жил взрывами, переходя с сумасшедшей быстротой от одного настроения к другому. Теперь он почему-то занялся мной и моими делами. Этот прилив дружеской нежности дошел до того, что раз Пепко явился ко мне в час ночи, разбудил меня, уселся ко мне на кровать и, тяжело дыша, заговорил:

— Знаешь, я все время думаю...

— Постой, который теперь час?

— Два... то есть второй.

— Да ты с ума сошел, Пепко... Что такое случилось?

— Мне нужно серьезно поговорить с тобой о «Межеумке». Я прочитал рукопись и отправлюсь с ней в редакцию для некоторых объяснений. Видишь ли, он тебя оскорбил... Это нехорошо, очень нехорошо. Он слишком большой человек, а ты сущая литературная ничтожность. Да... Значит, он должен быть вежлив прежде всего. Это minimum... Допустим, что ты написал неудачную статью, — это еще не беда и ни для кого не обидно. Даже опытный автор может написать неудачную статью... Занятие, во всяком случае, скромное. Я приду к нему и скажу: «Милостивый государь, я вас очень люблю, уважаю и ценю, и это мне дает право прийти к вам и сказать, что мне больно, — да, больно видеть ваши отношения к начинающим авторам»... О, я ему все скажу! Я буду красноречив... Ведь он нанес тебе оскорбление.

— Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. С какой стати ты полезешь объясняться?.. Оскорбителен был тон, — да, но ты прими во вни-

мание, сколько тысяч рукописей ему приходится перечитывать; поневоле человек озлобится на нашего брата, неудачников. На его месте ты, вероятно, стал бы кусаться...

— Нет, нет, этого дела так нельзя оставлять. Я скажу ему несколько теплых слов.

— Редакции не обязаны мотивировать свои отказы и отвечать по существу дела: для этого не хватило бы времени. Если каждый отвергнутый автор полезет с объяснениями, когда же он сам будет писать?.. Нет, это дело нужно оставить.

Мне стоило большого труда успокоить Пепку. Он кончил тем, что принялся ругать меня, колотил в стену кулаками и вообще проявил формальное бешенство.

— Вася, ты глуп... о, как ты глуп! С каким удовольствием я сейчас вздул бы тебя...

— Ты сядь, Пепко... Странно, что твои добрые намерения заканчиваются непременно мордобитием.

— Дерево деревянное!.. Ветчина!.. олух!..

За этим пароксизмом последовал быстрый упадок сил. Пепко сел на пол и умолк. В единственное окно моего гроба глядело уже лет-

нее утро. Какой-то нерешительный свет бродил по дешевеньким обоям, по расщелявшемуся деревянному полу, по гробовой крышке-потолку, точно чего-то искал и не находил. Пепко сидел, презрительно мотал головой и, взглядывая на меня, еще более презрительно фыркал. Потом он достал из кармана несколько написанных листов и, бросив их мне в физиономию, проворчал:

— На, черт тебя возьми...

— Что это такое?

— А вот, читай... Целую неделю корпел. Знаешь, я открыл, наконец, секрет сделаться великим писателем. Да... И как видишь, это совсем не так трудно. Когда ты прочтешь, то сейчас же превратишься в мудреца. Посмотрим тогда, что он скажет... Ха-ха!.. Да, будем посмотреть...

Просматривая Пепкину работу, я несколько раз вопросительно смотрел на автора, — кажется, мой бедный друг серьезно тронулся. Всех листов было шесть, и у каждого свое заглавие: «Старосветские помещики», «Ермолай и Валетка», «Максим Максимыч» и т. д. Дальше следовало что-то вроде счета из ресторана:

с одной стороны шли рубрики, а с другой — цифры.

— Пепко, извини, это выше моего понимания...

— Ага!.. Я взял у каждого знаменитого автора по рассказу и произвел самый точный химический анализ, вернее — анатомическое вскрытие. Вот не угодно ли: вступление — двадцать три строки, вводная сцена — сорок семь строк, описание летнего утра — семнадцать строк, вывод главного действующего лица — тридцать две строки, завязка — пятнадцать строк, размышления автора — пятьдесят девять строк, сцена действия — сто строк, описание природы, лирическое отступление, две параллельные сцены — у меня все высчитано, голубчик. И посмотри, что из этого выходит... Лист шестой: сравнительный анализ — у Гоголя столько-то строк занимают описания природы, столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то лирические отступления; у Лермонтова — столько-то, у Тургенева — столько-то, у Льва Толстого — столько-то. Затем сравнительный порядок, в котором расположены эти отдельные части у

каждого автора, — одним словом, решительно все. Еще ни одна бестия-критик не додумался до подобного точного метода исследования, а в этом весь секрет упадка нашей критики, что уже не составляет ни для кого тайны.

— Пепко, да ведь здесь недостает только масштаба... Ты авторов меряешь аршином.

— А ты слушай: я анатомировал твоего «Межеумка» и убедился, что ты ближе всего подходишь к Гоголю. Да... Ведь это целое открытие, и тебе только остается им воспользоваться. Прежде чем писать что-нибудь, сделай сценарий: тут описание природы столько-то строк, тут выход героини, там любовная сцена, — одним словом, все как на ладони. Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз

ut во всех его сочинениях.

Мне показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я в тот же день отправился к нему на дачу. Это был мой первый визит. Анна Петровна, как все молодые жены, ревновала мужа больше всего к его старым друзьям, служившим для нее олицетворением тех пороков, какими страдал муж; ведь сам он, конечно, хороший, милый, чудесный, если бы не проклятые друзья. История известная, и я до сих пор старался не отягощать Анну Петровну своим присутствием, да и роль олицетворенного порока мне не нравилась. К моему счастью, Анны Петровны не оказалось дома, а Пепко шагал по дачному садику в гимназическом ранце. Оказалось, что ранец был набит камнями, и он вперед приучал себя к трудностям предстоявшей боевой жизни.

— Я уж теперь могу сделать пять тысяч шагов без одышки, — объяснял он. — Впрочем, зависит от питания... Ведь я уже целый месяц питаюсь солдатским пайком. Труднее всего перелезать в роще через забор...

— Это еще что такое?

— А видишь ли, забор для меня заменяет

горы... Сначала я мог перелезать всего сорок раз, а сейчас уже достиг до сотни. Вот, не хочешь ли попробовать?

— Нет, благодарю. Я ведь не собираюсь поступать в герои...

Пепко огляделся, подмигнул мне и шепотом сообщил:

— Я сделал чудное открытие, Вася... Ха-ха!.. Знаешь, я раньше очень страдал... ну, в семейной жизни это случается. Серьезно страдал... да. А теперь, брат, шалишь... Например, Анюта меня оскорбит... понимаешь? Мне обидно... Раньше я дня на два терял расположение духа, а теперь надену ранец — и в парк. При легких огорчениях достаточно сделать две тысячи шагов, при серьезных тысячи четыре — и все как рукой снимет. Дело в том, что нужно создать физический противовес внутренней душевной тяжести — и равновесие восстановляется. Не правда ли, как это удобно? Анюта, например, говорит: «ты — негодяй», — это стоит двести шагов; «ты испортил мне всю жизнь», — ну, это триста пятьдесят, даже все четыреста; «ты — пьяница и умрешь под забором», — это всего пять-

десят шагов, а когда она начинает плакать, — тут уж прямо тысяча. У меня есть таблицы, где я веду строгую отчетность и даже высчитываю те ошибки, которые у астрономов подводятся под личное уравнение. У меня, братику, все по счету, ибо цифра составляет душу мира, как говорили еще пифагорейцы.

Пепко опять был мил, как ребенок, и я чувствовал, что опять начинаю его любить. В нем была эта проклятая черта русского характера, за которую можно простить человеку все... Он меня заразил даже своим славянским патриотизмом, особенно когда вспыхнуло сербское восстание. Где-то далеко-далеко рубили лес, и щепки долетали до нас... На вокзале я встретил уже несколько братушек в расшитых куртках, в каких-то шапочках и шароварах. Откуда они взялись? В газетах шел набат, — Фрей был прав. Общество было охвачено движением. Все радовались чему-то. Чувствовался подъем и мысли и чувства. Теперь, почти через двадцать лет, трудно об этом судить, но движение было, и такое хорошее движение, заражавшее всех, от гимназиста до седовласого старца.

Мы раз отправились с Аграфеной Петровной в Шувалово на вечер, устроенный Пепкой и Андреем Иванычем уже в пользу сербов. Публики было много. На каждом шагу — возбужденные лица. У буфета кто-то кричал: живио!.. Хор любителей пел сербские песни, оркестр играл сербские мотивы. Вообще в самом воздухе стояло что-то захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчас это движение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда было хорошо. Я даже начинал завидовать Пепке, который даже в мелочах проявлял такую кипучую деятельность. Одна Аграфена Петровна смотрела на оживленную публику грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мне казалось, что она жалела, что не может накормить всех этих угнетенных герцеговинцев, сербов и болгар, — кормить кого-нибудь было ее слабостью. Она была слишком женщина...

— Живио! — кричал Пепко, подбегая к нам.

— Вот танцевать-то как будто нехорошо, Агафон Павлыч, — оговорила его Аграфена Петровна. — Там зверства, а вы танцуете...

Из Шувалова мы возвращались с Аграфеной Петровной вдвоем; дорога парком в летнюю теплую ночь была чудная. Я находился под впечатлением сербского вечера и еще раз завидовал Пепке. Мы шли пешком и даже немного заблудились.

— Присядемте... Я устала.

Садовая скамейка была к нашим услугам. Аграфена Петровна села и долго молчала, выводя на песке зонтиком какие-то фигуры. Через зеленую листву, точно опыленную серебристым лунным светом, глядела на нас бездонная синева ночного неба. Я замечтался и очнулся только от тихих всхлипываний моей дамы, — она плакала с открытыми глазами, и крупные слезы падали прямо на песок.

— Аграфена Петровна, что с вами?

Заплаканные глаза смотрели на меня, а потом голова Аграфены Петровны очутилась на моем плече.

— Милый, милый, как я... я счастлива.

Когда женщина первая делает признание в любви, мужчина попадает в крайне неловкое положение. Я помню, что поцеловал ее в лоб, что потом это горячее заплаканное лицо

прижалось к моему лицу, что... Прежние романисты ставили на этом пункте целую страницу точек, а я ограничусь тремя.

Глава 36

Что может быть хуже обмана, особенно обмана в той интимной области, где все должно освещаться искренним чувством... И я шел по этой торной дороге лжи и обмана, усыпленный первой женской лаской, первыми признаниями и поцелуями. Давно ли я обличал Пепку, а теперь делал то же, нет — гораздо хуже. Не скрою, что мне временами делалось ужасно совестно, я начинал презирать себя, но ласковый женский шепот тушил эти последние проблески. Разве вся история — не обман? И герой и нищий одинаковы, особенно когда дело касается собственности, которая сама идет к своему вору с ласками и поцелуями. И все-таки я презирал себя, молча и сосредоточенно, как иногда презирал Аграфену Петровну, Андрея Иваныча, Пепку и весь род людской вообще, точно все были виноваты моей собственной виной. Мне было обидно, что так нелепо поместились мои первые вос-

торги; ведь я даже не любил Аграфены Петровны, а отдавался простому физическому влечению. Где же идеалы, где та светлая и чистая, которая носилась в тумане юношеских грез? Меня охватывало чувство позора и стыда.

— Вы, кажется, предаетесь угрызениям совести? — заметила однажды Аграфена Петровна с улыбкой. — Успокойтесь, мой милый... Мы с Андреем Иванычем только играем в мужа и жену, по старой памяти.

— Тем хуже... Я-то при чем тут?

Меня удивляло ее спокойствие. Она решительно ничем не выдавала себя и оставалась такой же, какой была раньше. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила. Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшним днем, как это умеют делать женщины. Впрочем, должен сознаться, что трудно ее и винить: будь другой муж — и ничего бы не было. К самому себе я всегда был строг и называл вещи их собственными именами, хотя гораздо удобнее ненавидеть и прощать свои собственные пороки и недостатки, когда их находишь в других людях. До этого я еще не

дошел. Да, я пил из отравленного источника и, как пьяница, хотел пить и пить без конца. К Андрею Иванычу у меня было смешанное чувство ненависти, презрения и ревности; ведь никто так не ревнует, как любовник. Меня, конечно, главным образом волновали картины прошлого счастья Андрея Иваныча. В душу закрадывалось то подлое чувство собственности, которое из мужчины делает самца.

Пепку я старался совсем не встречать и даже избегал его. Впрочем, ему было не до меня. События разгорались. Уже весь Балканский полуостров был охвачен могучей мыслью о национальной независимости.

— Представьте себе, этот сумасшедший Пепко едет на войну, — заявила однажды Аграфена Петровна (она говорила «сумашедчий», как горничная). — Анюта прибегала ко мне...

— Неужели едет? — удивлялся я самым бессовестным образом.

— Да, да... В добровольцы поступает. И Анюта тоже сумашедчая... Как же, помилуйте, и она туда же за ним!.. И что она только

нашла в нем... Удивляюсь, удивляюсь!..

Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время избавиться от жены рушились самым позорным образом. Жена ехала вместе с ним... Это уже входило в область комедии. То-то он в последнее время совсем глаз не показывает. Тоже есть кое-какая совесть. Ловко, Анна Петровна... Я про себя злорадствовал по адресу своего друга, точно желал выместить на нем свое собственное свинство. Я даже с нетерпением ждал случая, когда, наконец, увижу женатого добровольца. Как-то все геройство Пепки уничтожалось одним этим словом: жена. Получалась обидная нелепость идти на войну с женой. Одним словом, только Пепко мог очутиться в таком дурацком положении.

— Анюта едет фельдшерицей, — объяснила Аграфена Петровна. — Что же, оно, может, и хорошо, а притом и муж все-таки на глазах. Мало ли что на войне может случиться... Эти лупоглазые турчанки как раз изведут добра молодца.

Движимая родственным патриотизмом, Аграфена Петровна усиленно что-то шила,

проявляя сестринскую любовь. Она даже раза два всплакнула над работой, так, по-бабьи всплакнула, потому что и глаза на мокром месте и война — страшное слово.

Наступил день отъезда. Пепко не завернул даже проститься, а написал коротенькую записку с просьбой приехать на Варшавский вокзал.

— Что же, надо проводить, — решила Аграфена Петровна. — Все-таки родственники...

Она ходила уже целых два дня с заплаканными глазами, и, как мне казалось, ей самой нравилось это родственное горе и то, что она может поплакать на определенную тему. Кстати, она заготовила целую корзину съестного, — голодные они там, так пусть покушают.

Варшавский вокзал имел необычно оживленный вид. Зала и платформа были битком набиты. Большинство составляла провожающая публика. Все лица имели возбужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое из будней делает праздник. И барин, и мужик, и мещанин, и купец — все точно приподнялись.

Да, совершалось что-то необычно хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всех в глазах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впоследствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались притчей во языцех, но это просто несправедливо, вернее сказать — дурная русская привычка обращать все в позорище. Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцев, состоявшую главным образом из отставных солдат. Как-то странно было видеть самые обыкновенные лица, которые сделались необыкновенными. Положим, что в массе эти кучки добровольцев были плодом газетного поджиганья, патриотических речей, таких же разговоров и главным образом того, что дома уж очень тошно жилось. Но были и другие сюжеты. Я невольно полюбовался двумя братьями-добровольцами — старший с офицерской выправкой, а младший просто хороший юнец. Оба такие славные и серьезные. Их никто не провожал, и они держались в сторонке от общей волны. Трогательно было смотреть, как старший брат ухаживал за красавцем младшим. Эти знали, куда идут и зачем идут.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроение, которое могло испортить общий тон. Но он оказался на высоте задачи. Ничего театрального и деланого. Я его еще никогда не видал таким простым. Немного резала глаза только зеленая веточка, пришпиленная, как у всех добровольцев, к шапке. Около Пепки уже юлил какой-то доброволец из отставных солдат, заглядывавший ему в лицо и повторявший без всякого повода:

— Ах, ваше благородие, мне бы хучь одного турку прикончить... Неужто господь-батюшка не приведет?.. Уж я бы... ах ты, братец ты мой...

Пепко уже успел заручиться ординарцем, и солдат таскал его вещи, суетился и повеличивал «вашим благородием». У Пепки вообще было что-то привлекающее к себе. Когда Пепко сконфузился немного при виде корзины с съестным, которую Аграфена Петровна привезла на вокзал, выручил солдат.

— Позвольте, сударыня... У нас все уйдеть... Как же можно, ваше высокоблагородие. Можно сказать: дар божий. Уйдеть... Тут еще, ваше высокоблагородие, одна женщина,

желающая нащет провианту.

— Какая женщина?

Притиснутая толпой, стояла наша Федосья. Она протягивала молча какой-то узелок.

— Проводить пришла, Агафон Павлыч, — виновато повторяла она, точно оправдывалась за свою смелость. — Бывало, ссорились... так уж вы того...

Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключил в свои объятия Федосью и по-русски расцеловал ее из щеки в щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всех впечатление: Аграфена Петровна отвернулась и начала сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и моргала, стараясь подавить просившиеся слезы, у меня тоже сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. Потом толпа нас разъединила, и я почувствовал, как Федосья тянет меня куда-то за рукав. Я пошел за ней. В самом дальнем уголке вокзала сидела Любочка, одетая в черное. Она казалась девочкой. Худенькое бледное личико совсем вытянулось и глядело такими трогательно-напуганными глазами.

— В сестры в милосердные записалась... —

объяснила Федосья.

— Здравствуйте, Любочка... И вы на войну?

— Не знаю... Куда повезут, Василий Иваныч. Не поминайте лихом...

Пепкин солдат очутился опять около нас и куда-то потащил Любочкин багаж.

— Ты это куда поволок? — уцепилась за него Федосья.

— А как же? — удивился и обиделся солдат. — Вместях все едем... Одна компания. Значит, у их благородия супруга на манер милосердной сестры, и вот они в том же роде... Уж я потрафлю, не беспокойтесь, только бы привел господь сокрушить хучь в одном роде это самое турецкое челмо... а-ах, боже мой!..

Солдат являлся в роли той роковой судьбы, от которой не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я уверен, что она сейчас не думала о Пепке. Ей просто нужно было куда-нибудь поместить свое изболевшее чувство, — она тоже искала своего бабьего подвига и была так хороша своей кроткой простотой.

— И что только будет... — шептала Федосья, покачивая головой. — Откуда взялся этот проклятущий солдатишко... Люба, а ты не

сумлевайся, потому как теперь не об этом следовает думать. Записалась в сестры — ну, значит, конец.

Хлопотавшие с отправкой добровольцев члены Славянского общества усаживали свою беспокойную публику в вагоны. Из залы публика хлынула на платформу. Безучастными оставались одни буфетные человеки и фрачные лакеи, — их трудно было прошибить. Пепко разыскал меня, отвел в сторону и торопливо заговорил:

— Мне давно хотелось сказать тебе, Вася... да, сказать... ах, нехорошо, Вася!.. Мне больно тебе это говорить...

— Да ты о чем?

— А ты не знаешь, о чем? Перестань... ах, нехорошо!.. Может быть, не увидимся, Вася... все равно... Одним словом, мне жаль тебя. Нельзя так... Где твои идеалы? Ты только представь себе, что это кто-нибудь другой сделал... Лучше бы уж тебе ехать вместе с нами добровольцем. Вообще скверное предисловие к той настоящей жизни, о которой мы когда-то вместе мечтали.

Я чувствовал, как вся кровь хлынула мне в

голову и как все у меня завертелось пред глазами, точно кто меня ударил. Было даже это ощущение физической боли.

— Мне странно слышать это именно от тебя, Пепко... — бормотал я и неожиданно прибавил: — А ты видел Любочку?

— Да, она едет вместе с нами... Я говорил с ней. Только ты ошибаешься: это совсем другое. Тут была хоть тень чувства и увлечения, а не одно холодное свинство...

— Послушай, ты говоришь о том, чего не знаешь, и позволяешь себе слишком много... да.

Мне вдруг захотелось сказать Пепке что-нибудь такое обидное и несправедливое, но раздался уже второй звонок, и мы расстались совершенно холодно.

Помню, как я стоял в толпе чужим человеком. Обидные слезы душили меня, и в то же время мне хотелось во всем обвинить Пепку. Вот рассаженные по вагонам добровольцы запели «Спаси, господи, люди твоя», и толпа, как один человек, обнажила головы. Все были охвачены одним жутким чувством. Рядом со мной стоял купец, толстый и бородастый, и

плакал какими-то детскими слезами... У меня тоже катились слезы. А знакомый с детства церковный мотив разрастался и широкой волной покрыл всю платформу, — пел стоявший рядом купец, пел официант с салфеткой подмышкой, пела Федосья... Подступала одна общая волна, которая была сильнее того пара, который должен был сейчас унести горсть добровольцев.

Трогательный момент был нарушен только Пепкиным солдатом. Он как-то кубарем выскочил без шапки из вагона и кинулся к члену Славянского общества.

— Вашескородие, шапку украли... Что же это такое?.. Можно сказать, душу полагать готов, а они, подлецы, например, шапку... Каким же манером, я, например, в Сербию? Все в шапках, а я один оглашенный...

Солдата едва успокоили и как-то засунули обратно в вагон. Поезд тронулся, а за ним поплыл и торжественный церковный мотив...

Глава 37

Осенью, когда я с дачи вернулся в гостеприимные недра «Федосьиных покровов», на мое имя было получено толстое письмо с заграничным штемпелем. Это было первое заграничное письмо для меня, и я сейчас же узнал руку Пепки. Мое сердце невольно забилось, когда я разрывал конверт. Как хотите, а в молодые годы узы дружбы составляют все. Мелким почерком Пепки было написано целых пять листов.

«Белград, военный госпиталь (потихоньку от жены, которая следит за мной, как рыба за червяком, извивающимся на крючке), койка № 37. Милый, дорогой друг... Извини, что я так давно не писал тебе, то есть не писал совсем. Главной причиной этому было то, что, уезжая в Сербию, я ненавидел тебя самым благородным манером, как сорок тысяч благородных братьев, возведенные в квадрат. Да... Потом — это уж роковая черта всякой истинной дружбы — я совсем позабыл о твоем существовании. Итак, я не писал тебе и сейчас пишу только потому, что лежу в госпита-

ле уже второй месяц и скучаю, как, вероятно, будут скучать только будущие читатели твоих будущих произведений. Потом — я ненавижу проклятых братушек и всю эту опереточную войну... Еще потом — моя любезная супруга не отходит от меня, и я ненавижу ее больше того, если бы сложить Сербию и Болгарию вместе и помножить эти прелестные страны на Герцеговину, Боснию и Черногорию. Одним словам, ты уже предчувствуешь излитие священной эссенции дружбы и с мужеством еще нераненого добровольца пускаешься в чащу дружеских признаний и конфесьенов. Милый друг, представь себе самую смешную картину: раненый Пепко лежит в военном госпитале в Белграде... Он сейчас походит на одну из тех восковых фигур, какие показываются на ярмарочных балаганах, это — смешной, выцветший и захватанный руками дрянной манекен, к которому нельзя дотронуться, чтобы не нарушить семейного счастья какой-нибудь добродетельной моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недостает только твоей раненой персоны... Вдвоем оно все-таки веселее — поругались бы

хоть для развлечения. Постой, главное-то, почему я пишу тебе, я и забыл сказать — пишу сие, братику... да, пишу... Помнишь романс:

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей...
Не говори: близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей.
[123]

Помнишь, еще провизор пел тогда у Наденьки? Нейдет он у меня из башки вторую неделю — лежу и повторяю его про себя. Повторял, повторял, да и додумался: ведь это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь умом, вникни, и восчувствуешь некоторую подлую тоску... Я свое настроение скрыл даже от своей любезной супруги, которая любит ковыряться у меня в душе и, как кошка, выцарапывает самые тайные мысли. У женщин, братику, на это есть какой-то чертовский нюх... Прямо носом чуют, где жареным пахнет. Как-то у нас в лагерях появилась одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нее, я тебе скажу, как у котенка, и в глазенках этакая приглашающая пожарная тревога, — од-

ним словом, фрукт. Ты знаешь мое несчастие: женщины не могут меня видеть равнодушно. Ну, и тут альте гешихте: сколько было офицеров, а она в меня влюбилась — сразу врезалась. Время военное, сегодня жив, а завтра неизвестно, — ну, я, признаюсь, немного того... Приходит она ко мне этак в палатку, рубашечка на ней в сборочках, расшитая курточка, а я ее этак за рукав и начинаю курточку расстегивать... Жмется, хихикает, а тельце у нее такое смугленькое, на верхней губе усики... Расстегиваю я эти национальные пуговки, как вдруг кто-то меня сзади бац: в самое ухо. Супружница... Табло. Побежала сейчас же к Черняеву развод просить, — ну, а он, натурально, говорит, что это не его дело и что в наказание пошлет меня в секрет на линию. Одним словом, спас меня генерал... И как же был я рад, когда так дешево отделался. Как видишь, политические события иногда зависят черт знает от чего, от каких-то серебряных пуговок... Кстати, увы! — сербочки моей уж нет — фюить! сбежала с каким-то казачьим офицером в Расею. До сих пор жаль... фруктик был правильный и все в порядке. А

я разве виноват, что она сама первая мне на шею бросается, да еще в поенное время?.. Тсс... Грядет сама, и я прячу свои грешные конфесьены, как улитка рога...»

Письмо было скомкано. Пепко, вероятно, прятал его куда-нибудь под подушку, когда показалась сама, то есть Анна Петровна. Следующий лист был написан уже другими чернилами — тоже результат семейной инквизиции. Мне очень понравился беспорядочный тон этого удивительного послания, — Пепко не думал, а гонялся за мыслями, как выпущенная в первый раз в поле молодая собака. Милый Пепко, как я его опять любил, и он опять был весь на этих смятых исписанных листах. Он вежливо предоставлял мне право восстановлять связь между отдельными частями его письма и отыскивать смысл. Следующий лист начинался так:

«Извини за невольный перерыв: семейное счастье всегда идет скачками... Возвращаюсь к прерванному повествованию. Позволь сначала отрекомендоваться: я — герой, я делал всеобщую историю, пролитая мною кровь послужит Иловайскому материалом для само-

новейшей истории, я — ординарец при генерале Черняеве, я, то есть моя персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили меня довольно невежливо, ибо я не могу даже показать публике своих почетных шрамов и рубцов), наконец, я в скором времени кавалер сербского ордена Такова... И вдруг герой, то есть я, влопался в гросс шкандал с сербочкой, и моя супруга сжила бы меня со свету, если бы не любезность милых турок. Между нами, братику: все эти братушки решительно дрянь, а в турок я влюблен. Чудный народ... И, знаешь, я решил, что остаюсь в Турции. Да, остаюсь, и со временем натурализируюсь, как делают немцы. Чудный народ, одним словом, и я влюблен в каждого турка. Сколько в них природного благородства, храбрости, вежливости — просто даже обидно за свое холуйство. Представь себе, что у них нет самых величайших наших зол, как пьянство и проституция... Затем у них нет старых дев. Я презираю нашу фальшивую цивилизацию и сделаюсь турком. Феска очень идет к моей фотографии... Раз на рекогносцировке я попал в турецкую деревушку, захожу в один дом, чтобы

напиться, — вижу, сидит на полу на ковре старый-старый турок с седой длинной бородой и читает коран. Вся деревня бежала, а старик остался. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня... Мне вдруг сделалось стыдно. Я прочитал в его глазах глубокое и справедливое презрение к моей персоне, к моему военному мундиру, к выражению лица, к торопливым движениям. Старик не боялся смерти, и я походил на собаку, которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвост. Кстати, этого старика потом нашли убитым, и кто бы, ты думал, убил его? Помнишь солдата-добровольца, который при нашем отъезде из Петербурга устроил скандал с шапкой? Он его и убил... Впоследствии сам мне сознался. Впрочем, я забегаю вперед. Начинаю с начала. Как я уже писал выше, после скандала с сербочкой Черняев отправил меня на линию. Я давно вызывался в охотничью команду, ну, и получил. С позиции нас отправили в секрет человек пять. Хорошо. Со мной был и тот солдат, который скандалил из-за шапки. Засели мы в кукурузе на две ночи. Трудно это здоровому человеку вылежать

двое суток без признаков жизни, а тут еще и курить нельзя. Начался холодище, зуб на зуб не попадает. Сидели-сидели, тощища... Я даже рассердился: какая это война? Так, черт знает что такое... Только тут я понял, как-то всем телом понял, какая колоссальная бессмыслица эта война. Только и развлечения, что смотришь, как снаряды над головой летают. Трах-тррах!.. Кто-то кого-то желает уничтожить, одним словом. И представь себе, какая бессмыслица: ведь я их люблю, этих милых турок, а они в меня палят... Сначала я трусил, а потом надоело бояться — очень уж скучно было сидеть в этой проклятой кукурузе. И потом этакие жалобные мысли в башку лезут... А вдруг убьют? Даже этак вперед жалеешь самого себя: а там родина, родной угол, одна добрая мать — всего надумаешься. Вообще не советую тебе, братику, поступать в герои, потому что это, во-первых, во-вторых и в-третьих, скучно... Посадят в кукурузу — и сиди дураком. А между тем нужно, кому-нибудь сидеть нужно, чтобы кто-то кого-то убивал... И какое это геройство: прячешься, как заяц в капусте. Меня утешал только мой солдат, кото-

рый трусил еще больше меня... Вот он тут мне и признался про турка, которого убил. Было это ночью. Сидим и дремлем. Солдат как схватит меня за руку: «Ваше благородие, ён...» — «Кто он?» — спрашиваю, а у самого мороз по коже. — «Да тот, седой турок, которого я тогда изничтожил... Вот сейчас провалиться: в кукурузе прошел и этак меня перстом поманил. Ох, не к добру это, ваше благородие!» Я его обругал, а потом оказалось, что солдат был прав. Утром турецкие аванпосты выдвинулись, началась перестрелка; братушки, конечно, бежали, как зайцы, а мы были обойдены левым флангом. Даже бежать было некуда... Нас выручила разорвавшаяся над нашими головами шрапнель: мой солдат был убит наповал, а я очнулся только в госпитале. Видишь, как скучно делается всемирная история: не будь серебряных пуговок у сербочки, не сидел бы я два дня героем в кукурузе и не был бы ранен шальной шрапнелью. А затем не лежал бы я в лазарете и не пришел бы к печальному выводу, что — увы! — молодость прошла... Меня это открытие сильно озадачило, и я...»

Дальше следовал перерыв, а продолжение написано на новой бумаге и новыми чернилами.

«Братику, мне кажется, что я никогда не кончу своего письма — в самый интересный момент ворвалась моя дражайшая... Ох, как я ненавижу всех женщин, начиная с прамате-ри Евы, благодаря маленькой любезности которой появился весь род людской. Да, я ненавижу, потому что женщины всегда мешали мне в самый интересный момент. Милый братику, думал ли ты о старости? О, она теперь сидит у моего изголовья и любуется новой жертвой... Братику, миленький, мне страшно, когда я думаю о старости. Где рой тех чудных красавиц, которые должны были целовать меня? где те виллы, в которых я должен был жить? где те подвиги, которые передали бы мое имя благодарному потомству? Червь, ничтожество, эссенция праха... Я и раньше частенько задумывался над этим, говорил на эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то вроде слабой надежды, а сейчас я чувствую всей своей грешной плотью, что ничего не будет и что остается только скром-

но тянуть до благополучного отбытия в небытие... Боже мой, где же вы, молодые грезы? где мечты о счастье? где ты, молодая дерзость?.. Я лежу на своей койке № 37 и жалею себя... Да, жалею себя и тебя тоже жалею. Кто-то другой взял все лучшее в жизни, этого другого любили те красавицы, о которых мы мечтали в бессонные ночи, другой пил полной чашей от радости жизни, наслаждался чудесами святого искусства, — я ненавижу этого другого, потому что всю молодость просидел в кукурузе... У меня сейчас слезы на глазах, милый, и мне стыдно их, стыдно, и хочется, чтобы ты пожалел меня. Я часто думал о тебе, даже там, когда сидел в кукурузе, составил новую теорию словесности. Жаль, что не было с собой карандаша и бумаги, а то я осчастливил бы человечество. Да... И вот к такому человеку подкралась злодейка старость, и я чувствую ее холодное дыхание. Отдайте мне мои двадцать лет, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье... Я ведь еще даже не начинал жить и страстно хочу жить — жить не своей одной жизнью, а тысячью других жизней, любить, плакать и смеяться. Знаешь,

кто мне это говорил? Любочка... Кстати... да... гм... Она потихоньку приходит ко мне в госпиталь, присядет на кровать и смотрит — не глазами смотрит, а вся смотрит. Лицо у нее бледное, строгое, глубокое... И как она умеет любить! Недавно сидела-сидела, легонько вздохнула и говорит: «А вы пожалеете, Агафон Павлыч, что тогда оттолкнули меня... Дело прошлое, я уж теперь перемучилась, а все-таки пожалеете». И сказала правду, братику... Ты испытал чувство ненависти? Я ненавижу свою жену... Ненавижу ее голос, походку, самоуверенную улыбку, порядочность — все, все, все. Хуже: я ее боюсь!.. Это последняя степень мужского падения. О, отдайте мне мои двадцать лет... Чувствую, что никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищ по несчастию, — и твоя юность тоже сделалась достоянием всепожирающего времени. Твой друг и кавалер ордена Такова — Пепко».

В постскриптуме стояла лаконическая фраза:

«Приезжай в Белград, и перейдем в турки, — это единственный исход из нашей бесшабашной жизни».

Глава 38

Письмо Пепки для меня было ударом. Да, он был прав, милый Пепко... Не молодость прошла, а юность, и особенно скверно прошла она для меня. Пепко по крайней мере утешался тем, что не было еще женщины, которая отнеслась бы к нему равнодушно, мог, наконец, ненавидеть женщин, причинявших ему столько неприятностей, а я даже не мог сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже совсем кисло. Даже своим романом с Аграфеной Петровной я не мог похвастаться, потому что она во мне любила не меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство. Я это отлично понимал. Сама по себе она была очень хорошая женщина, с здоровыми инстинктами и честная — не головной честностью, а по натуре. В ней была только одна порабощающая черта — это та женская покорность, которая делает из мужчины раба. Ей никогда и ничего не было нужно, она ничего не требовала и была счастлива сознанием, что ее тоже любят — так, немножко, а все-таки любят. Меня эта покорность часто возму-

щала. Потом, у нас не было будущего, и мы о нем никогда не говорили, как не говорят в присутствии труднобольного о смерти. А самое ужасное — над нами висел длящийся обман. Вообще положение было самое скверное, особенно принимая во внимание, что в него отлилась моя юность. Письмо Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разорвал в клочья, как собственный обвинительный акт, и пролежал на своей кушетке в молчаливом отчаянии целый день.

— Молодость прошла — отлично... — злобно повторял я про себя. — Значит, она никому не нужна; значит, выпал скверный номер; значит, вообще наплевать. Пусть другие живут, наслаждаются, радуются... Черт с ними, с этими другими. Все равно и жирный король и тощий нищий в конце концов сделаются достоянием господ червей, как сказал Шекспир, а в том числе и другие.

Мрачные мысли Пепки ответили на то настроение, которое я скрывал от самого себя. Мне было и обидно и больно, и в то же время я не мог не согласиться с Пепкой. Да, мой друг был прав, тысячу раз прав, хотя от этой прав-

ды ни ему, ни мне и не было легче. Приходилось ставить крест на грустный опыт первых двадцати пяти лет, вернее — на последние семь-восемь годов. Вместо жизни получался неясный призрак, что-то вроде тех китайских теней, какие показывают детям. Где же настоящая жизнь? когда она наступит? Боже мой, ведь ни один день не вернется... Как отлично понимал я обуревавшую Пепку жажду жизни — я страдал еще сильнее.

Итак, я лежал у себя на кушетке и предавался самому отчаянному самоедству. Не хотелось ничего делать, читать, работать, двигаться, просто смотреть. На улице трещали экипажи, с Невы доносились свистки пароходов: это другой торопился по своим счастливым делам, другой ехал куда-то мимо, одни «Федосьины покровы» незыблемо оставались на месте, а я сидел в них и точил самого себя, как могильный червь. Меня не интересовало больше, кто живет за перегородкой рядом, где жил «черкес», кто другие жильцы, — не все ли равно? Федосья держалась со мной как-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои отношения к Аграфене Петровне и делала

благочестивое лицо, когда та изредка приходила навестить меня.

— Ну, уж... — говорила Федосья, оставляя весь свет в неизвестности, что она хотела сказать этими словами.

Аграфена Петровна из женской деликатности всегда являлась под каким-нибудь предлогом, одним из которых были письма от сестры Анюты из Сербии.

— А ведь он совсем порядочный, ваш Пепко, — удивлялась Аграфена Петровна, перечитывая мне вслух письма сестры. — Кто бы мог ожидать... Анюта совершенно счастлива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла в кого влюбиться... Удивляюсь я этим образованным девицам, как они ничего не понимают.

К другим Аграфена Петровна относилась, как все женщины, очень строго, забывая свой собственный грустный опыт. Меня больше всего интересовала политика Анны Петровны, не желавшей даже сестре выдать свои семейные тайны. Я, конечно, молчал, оставляя Аграфену Петровну в счастливой уверенности, что все обстоит благополучно. Вероятно, и Аграфена Петровна писала про себя сестре

то же самое. В сущности говоря, сестры обманывали друг друга самым трогательным образам. Я был невольным свидетелем этого обмана и думал, что ведь самое счастье не есть ли обман? И как немного нужно этого обмана, чтобы человек почувствовал себя счастливым...

Для меня лично эти «счастливые» письма Анны Петровны имели специально дурные последствия. Дело в том, что после каждого такого письма Аграфена Петровна испытывала известный упадок духа, потихоньку вздыхала и поднимала разные грустные темы.

— Удивительно это, Василий Иваныч, отчего одним счастье, а другим так, сумерки какие-то, — говорила она задумчиво. — Ну, подумайте, за что?

— Право, не знаю, — отвечал я совершенно серьезно.

— И что обидно: это ни от кого не зависит... Будь ты хоть разумница, будь раскрасавица, принцесса, королевская дочь — все равно...

— Ведь и мужчины то же самое.

— Нет, мужчины совсем наоборот... Взять

вот хоть вас. Вот сейчас сидим мы с вами, разговариваем, а где-нибудь растет девушка, которую вы полюбите, и женитесь, заведете деток... Я это к слову говорю, а не из ревности. Я даже рада буду вашему счастью... Дай бог всего хорошего и вам и вашей девушке. А под окошечком у вас все-таки пройду...

— Аграфена Петровна, как это вам хочется говорить глупости...

— Нет, в самом деле пройду... У вас будет огонек гореть, а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я... Что же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой вечерок. Жена-то, конечно, ничего на знает — молодые ничего не понимают, а у вас свои мысли в голове.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на глазах от этих чувствительных размышлений, и она вперед ревновала меня к своей неизвестной счастливой сопернице.

— Ежели разобрать, так что я для вас, Василий Иваныч? Так, игрушка... Мало ли нашего брата, дур-баб. А оно все-таки как-то обидно... И ваше дело молодое, жить захотите... да. Оно

уж все так на свете делается... Скучно вам со мной, ведь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, как Аграфена Петровна смотрела на меня, — так смотрят только на дорогих покойников. Удивительно, сколько может передать такой взгляд... И слов никаких не нужно, да и слов-то таких нет. От таких чувствительных разговоров у меня делалось ужасно скверно на душе, до того скверно, что и не расскажешь. Да, скверно... И вместе с тем являлась вперед какая-то жалость вот к этой самой Аграфене Петровне. Ведь в самом деле она пойдет под окошечком, а я буду сидеть и думать о ней. Ко всем этим приятным вещам нужно прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который в течение лета совсем сжился со мной и во время приступов откровенности блудного мужа поверял мне свои тайны. Сначала я его презирал, потом ревновал и, наконец, начал смотреть на него, как на своего alter ego. В нем жила эта неуловимая жажда разнообразия, удовлетворявшаяся маленьким настоящим. Я заметил, что он прежде всего идеализировал тех женщин, за которыми ухажи-

вал, — ведь и герцогини так же устроены.

— Вы рассмотрите-ка под микроскопом каждую женщину и найдите разницу, — предлагал он. — Эту разницу мы любим только в себе, в своих ощущениях, и счастливы, если данный номер вызывает в нас эти эмоции. В нас — все, а женщины — случайность, вернее — маленькая подробность... Почему нам нравится, когда в наших руках сладко трепещет молодое женское тело, а глаза смотрят испуганно и доверчиво? Мы хотим пережить сами этот сладкий испуг пробудившейся страсти, эти первые восторги, эту доверчивость к неизведанной силе...

Мне приходилось еще в первый раз встречать развратника pur sang,[124] и меня радовало, что я сам не такой и не буду таким. Ах, я мог делать ошибки, глупости, но никогда не дойду до того, чтобы наслаждаться «трепетом молодого женского тела», — одна терминология чего стоит! Я еще мог любить в женщине человека, а не одну самку. Откровенные беседы с этим откровенным мужем поднимали меня в собственном мнении. Это было какое-то отребье человечества... Ничто живое

уже не могло поднять душу. О нет, я не такой! С другой стороны, являлась мысль, что ведь и он, этот замотавшийся петербургский чиновник, родился тоже не таким, а дошел до своего настоящего длинным путем и что я, по видимому, иду именно по этому пути. Вот тут и выплывал вопрос об alter ego.

Раз мы сидели в трактире, и он задумчиво спросил:

— Вам сколько лет?

— Двадцать пять...

— О, еще успеете все пройти.

Он так гадко засмеялся, точно радовался, что отыскал во мне родственные черты. Неужели я буду когда-нибудь таким? Уж лучше тогда умереть...

В общем я проходил тяжелый житейский опыт и не пожелал бы его никому другому. Письмо Пепки только рельефнее объяснило мне ту степень, до какой я дошел. Мое отчаяние было вполне понятно.

Теперь я выходил из дому только по вечерам и любил долго бродить по улицам. Обыкновенно я уходил с своей ненавистной Петербургской стороны в город. Сколько здесь было

богатых домов, какие великолепные экипажи неслись мимо, и я наслаждался собственным ничтожеством, останавливаясь перед окнами богатых магазинов, у ярко освещенных подъездов, в местах, где скоплялась глазеющая праздная публика. Времени у меня было достаточно, и я бродил до мертвой усталости, а потом отправлялся в трактир Агапыча, где заседали остававшиеся члены распадавшейся «академии». Здесь все было по-старому. Я возненавидел трактир, трактирных завсегдатаев и все, что носило на себе проклятую печать трактира.

— Где это вы пропадаете? — спросил меня раз Фрей, остававшийся на своем посту.

— А так... Сам не умею хорошенько сказать. Скучно...

Фрей издал неопределенный звук, засосал свою трубочку и не стал больше расспрашивать. У него было достаточно своей собственной работы. Хроника падала. Публика рвала нарасхват только известия с театра войны, относясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и что могла интересного дать наша русская жизнь? Заседания ученых об-

ществ, пожары, убийства и только на закуску какой-нибудь крупный скандал, вроде расхищения банковской кассы. Да и самые скандалы скоро приелись, потому что устраивались по общему шаблону. Одним словом, мат... Фрей предчувствовал, что дело пойдет дальше и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война так война... Что же из этого? В сущности это была громадная комедия, в которой стороны совершенно не понимали друг друга. Наживался один юркий газетчик — неужели для этого стоило воевать? Мной вообще овладел пессимизм, и пессимизм нехороший, потому что он развивался на подкладке личных неудач. Я думал только о себе и этой меркой мерял все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицам меня успокаивало, и я возвращался домой с аппетитом жизни, — есть желание жить, как есть желание питаться. Меня начинало пугать развивавшаяся старческая апатия — это уже была смерть заживо. Глядя на других, я начинал точно приходить в себя. Являлось то, что называется самочувствием. Вы-

здоравливающие хорошо знают этот переход от апатии к самочувствию и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своим чередом и почти совсем меня не интересовала, как всякое ремесло. Я уже пережил острый период первых опытов, когда волновала каждая печатная строчка. Точно так же я относился к сотрудничеству у Ивана Иваныча: написал рассказ, получил деньги, — и конец. Наше недоразумение, вызванное романом, давно было забыто. Одним словом, я шаг за шагом превращался в настоящую газетную крысу и под руководством такого фанатика, как Фрей, вероятно, сделался бы хроникером. Я уже входил во вкус беспорядочной газетной работы и, главное, начинал чувствовать себя дома, — это большое чувство в каждой профессии.

Глава 39

Мое стремление к большой литературе на время как-то совсем заглохло. Я старался даже не думать об этом больном месте. Целый ворох рукописей лежал одной связкой в уголке, и я не решался к ним прикоснуться, как больной боится разбередить свою рану. Получалось что-то вроде литературной летаргии. К прежнему репертуару заражавших меня чувств прибавилась озлобленность неудачника. И тут были другие, не только составлявшие себе к двадцати пяти годам имя, но уже умиравшие, свершив в литературе все земное. Я, конечно, знал наперечет всех настоящих русских беллетристов и особенно следил за начинающей фракцией. Относительно последних я проявлял положительное зверство, третируя их, как мальчишек и выскочек. Если бы представить схему моих мыслей и разговоров на эту тему, получалось бы следующее.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой... Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Го-

голь, Лермонтов, Пушкин.

Этим синодиком все исчерпывалось, а остальное шло на затычку... Для окончательного растерзания нового автора я имел два самых страшных слова: Белинский и Добролюбов. Тут уж конец всему начинающему, и я злобно торжествовал. Ну-тка, вы, нынешние, попробуйте перелезть через этот забор? Лучше и не пробуйте, господа, потому что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой все сказали, не оставив вам даже объедков. Я злился и торжествовал, изливая накипевший яд систематического неудачника на своих воображаемых конкурентов. Впрочем, себя я выделял на особую полочку и верил, что, сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, из меня выработался бы настоящий автор. Да-с, настоящий... Я вошел во вкус этого всеуничтожающего настроения и даже начинал подумывать, не кроется ли во мне таланта литературного критика, просто злобного, а может быть, даже и мертвозлобного. Уж я бы задал всей этой мелюзге, да и из признанных корифеев повыдергал бы красное перо. Конечно, это нужно

сделать складно, а не так, как делал увлекавшийся Писарев. Черт с ней, с беллетристикой, лучше самому взять палку, чем подставлять спину. Да и прием готов вперед: все эти начинающие мерзавцы...

Итак, я лежал и злобствовал. Занятия в университете были брошены, да и раньше я относился к ним спустя рукава. Сейчас я посвящал себя служению родной литературе в окончательной форме. Если не выйдет беллетрист, то наверно уж получится критик, в достаточной мере злобный. В видах подготовления к этому ответственному посту я серьезно занялся пробелами своего образования, причем открыл целые пропасти самого возмутительного неведения. В сущности, говоря между нами, я не знал основательно ничего, а только бросался на все, хватал вершки, усваивал с грехом пополам терминологию, кое-какие теоремы и летел дальше. Это были жалкие лохмотья знания, а критику сие не полагается. Я записался в две библиотеки, натащил самых мудреных книг и углубился в бездну знания. Это было что-то вроде запоя. Книги читались систематически, со множеством

выписок, чтобы впоследствии блеснуть эрудицией! Французы это называют брать быка за рога...

Раз утром я был особенно злобно настроен. Начинались уже заморозки. Единственное окно моей комнаты отпотело. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая сквозь ветхие, прогнившие насквозь стены. Комната имела при таком освещении очень некрасивый вид, и невольно являлась мысль, что ведь есть же в Петербурге хорошие, светлые, сухие и теплые комнаты. Да, есть, как есть несколько миллионов светлых больших окон, за которыми сидят эти другие... Я серьезно раздумался на эту благодарную тему и даже чувствовал какое-то приятное ожесточение: и живите в светлых, высоких, теплых и сухих комнатах, смотрите в большие светлые окна, а я буду отсиживаться в своей конуре, как цепная собака, которая когда-нибудь да сорвется с своей цепи.

— Попов, вас спрашивает какой-то жандарм... — прервала мои размышления Федосья, ворвавшаяся в комнату с побелевшим лицом.

— Какой жандарм?

— Какие бывают жандармы: синий...

Я отворил дверь и пригласил «синего» жандарма войти, — это был Пепко в синем сербском мундире. Со страху Федосья видела только один синий цвет, а не разобрала, что Пепко был не в мундире русского покроя, а в сербской куцой курточке. Можно себе представить ее удивление, когда жандарм бросился ко мне на шею и принялся горячо целовать, а потом проделал то же самое с ней.

— Ох, Агафон Павлыч, вот напугал-то... А я как взглянула, так и обомлела: весь синий... жандарм...

— О женщина, ты видишь перед собой героя, — заявлял немного сконфуженный этой маленькой комедией Пепко. — Жалею, что не могу тебе представить в виде доказательства свои раны... Да, настоящий герой, хотя и синий.

Федосья прислонилась к косяку и заплакала. Она еще раньше оплакивала много раз геройство Пепки, особенно когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а теперь Пепко стоял перед ней цел и невредим. Меня,

признаться, эта вступительная сцена рассмешила до слез. Злейший враг не мог бы придумать Пепке более скверного эффекта, какой устроила Федосья в простоте сердца. Ведь он целую дорогу лелеял мысль о том, как явится в «Федосьины покровы» в своем добровольческом мундире. И вдруг все попорчено испугавшейся глупой бабой... Он в смущении отстегнул свою боевую саблю и повесил на гвоздь, на котором раньше висела гитара.

— Моя старшая дочь будет с гордостью указывать на нее своим детям, — объяснил он совершенно серьезно.

— Le sabre de mon pere?[125] — съязвил я. — Кстати, разве у тебя в виду имеется приращение семейства?

— Ну, до этого мы еще не дошли с Анной Петровной, но теоретически у всякого индивидуума в интересах продолжения вида должна быть старшая дочь... Я даже люблю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко расстегнул свою военную курточку, сел на стул, как-то особенно широко расставив ноги, и сделал паузу, ожидая от меня знаков восторга. Увы! он их не дождался, а даже,

наоборот, почувствовал, что мы сейчас были гораздо дальше друг от друга, чем до его отъезда в Сербию. Достаточно сказать, что я даже не ответил ему на его белградское письмо. Вид у него был прежний, с заметной военной выправкой, — он точно постоянно хотел сделать налево кругом. Подстриженные усы придавали вид сторожа при клинике.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко остался у меня. Очевидно, это было последствие какой-нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скрывали. Пепко повесил свою амуницию на стенку, облекся в один из моих костюмов и предался сладкому ничегонеделанию. Он по целым дням валялся на кровати и говорил в пространство.

— Как ты глуп, господин Василий Попов, — ораторствовал он, болтая ногами. — Да, глуп, ибо не понимаешь величайшего счастья быть самим собой и только самим собой. Дорого бы я дал за собственную свободу, чтоб опять поселиться в этой дыре и опять мыслить и страдать. Сладчайший ширазский шейх Саади, [126] нет — персидский Гейне, Гафиз, сказал:

«назначен птице лес, пустыня льву, духан Гафизу», а нам с тобой «Федосьины покровы». Ты не понимаешь собственного счастья, как здоровый не ценит своего здоровья, а между тем именно такая комната — идеал для всякого будущего знаменитого человека... Не в чертогах, не в виллах и палатах задумывались великие мысли, а вот в таких язвинах и тараканьих щелях. Тебя давит потолок — мечтай о высоких палатах; тебе мало свету — воображай залитую солнцем страну; тебя пробирает цыганская дрожь — лети на благословенный юг; ты заключен в четырех стенах, как мышь в мышеловке, — мечтай о свободе, и так далее. Только голодный мечтает об изысканных кушаньях, а пресыщенный богач отвертывается от них в бессильной ярости. Кажется, я выражаюсь достаточно ясно? Это, милый мой идиот, величайший из законов, закон контрастов; на нем выстроен весь наш многогрешный мир, а не на трех китах, как думает достопочтенная Федосья.

— Ну, а когда ты в турка будешь превращаться?

— Это дело серьезное, братику... Сперва-на-

перво я съезжу в Сибирь повидаться с одной доброй матерью, потом разведусь с женой и потом уже сделаюсь правоверным.

— Да ведь для этого нужны деньги?

— Деньги будут... Это вздор. Устрою приличный гаремец, — я не выношу единоженства. Гораздо приличнее, когда четыре жены... Там я буду чувствовать себя господином, а не стреноженным мужем своей жены. Да-с... И женщина на Востоке, несмотря на кажущееся рабство, в тысячу раз счастливее. Возьмем хоть нашу Федосью... Я покупаю, например, ее на невольничьем рынке за несколько лир. Хорошо. Сейчас полагается ей соответствующий костюм, харч и почетная должность главной надзирательницы моего гарема. Целый министерский пост, и ее жизнь полна. Здесь она только прозябала, а там будет чувствовать себя человеком. Ты, конечно, тоже пойдешь в правоверные?

— Нет... я, кажется, сделаюсь критиком.

— Э, братику, стара штука. Ты эту мысль у меня украл... да.

— Ну, уж извини, пожалуйста... Своим умом дошел.

— А я раньше тебя об этом думал и могу представить тебе письменные тому доказательства. Положим, что я тщательно скрывал это...

— Ты, кажется, вообще намерен скрыть от публики все свои таланты.

— Нет, кроме шуток, ей-богу, думал запузыривать по критике. Ведь это очень легко... Это не то, что самому писать, а только ругай направо и налево. И потом: власть, братику, а у меня деспотический характер. Автор-то помалчивает да почесывается, а я его накаливаю, я его накаливаю...

— А если тебя самого примется накаливать другой критик?

— Голубчик, да ведь это и есть хлеб насущный: и я ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую вселенскую смазь, что благосклонный читатель только ахнет. Я даже сам буду себя ругать, конечно, под другим псевдонимом, а публике и любопытно посмотреть, как два критика друг друга за волосы таскают и в морду друг другу плюют. Зрелище весьма поучительное... Да, думал, да раздумал. Не стоит... Хочу кончить дни своего странствия

турецким джентльменом. Теперь много англичан переходят в турий... Ты только представь себе этакого пашу, Пепко-паша, эффенди Пепко — и фамилия готова...

Меня возмущало, что Пепко говорил глупости серьезным тоном. А в сущности он занят был совершенно другим. Отдохнув с неделю, он засел готовиться на кандидата прав. Юридическими науками он занимался и раньше, во время своих кочевок с одного факультета на другой, и теперь принялся восстановлять приобретенные когда-то знания. У него была удивительно счастливая память, а потом дьявольское терпение.

— К рождеству я отваляю всю юриспруденцию, — коротко объяснил он мне. — Я двух зайцев ловлю: во-первых, получаю кандидатский диплом, а во-вторых — избавляюсь на целых три месяца от семейной неволи... Под предлогом подготовки к экзамену я опять буду жить с тобой, и да будете благословенны вы, Федосьины покровы. Под вашей сенью я упьюсь сладким медом науки...

С войны Пепко вывез целый словарь пышных восточных сравнений и любил теперь

употреблять их к месту и не к месту. Углубившись в права, Пепко решительно позабыл целый мир и с утра до ночи зубрил, наполняя воздух цитатами, статьями закона, датами, ссылками, распространенными толкованиями и определениями. Получалось что-то вроде мельницы, беспощадно моловшей булыжник и зерно науки. Он приводил меня в отчаяние своим зубрением.

Действительно, к рождеству все было кончено, и Пепко получил кандидата прав. Вернувшись с экзамена, он швырнул все учебники и заявил:

— Я еще никогда не был в таком глупом положении, как сейчас... У меня и морда сделалась глупа.

Только вынесши этот искус, Пепко отправился в трактир Агапыча и пьянствовал без просыпа три дня и три ночи, пока не очутился в участке. Он был последователен... Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я развращаю ее мужа. Из-за этого даже возникло некоторое крупное недоразумение между сестрами, потому что Аграфена Петровна обвиняла Пепку как раз в том же по отношению

ко мне.

Глава 40

В течение всего времени, как Пепко жил у меня по возвращении из Сербии, у нас не было сказано ни одного слова о его белградском письме. Мы точно боялись заключавшейся в нем печальной правды, вернее — боялись затронуть вопрос о глупо потраченной юности. Вместе с тем и Пепке и мне очень хотелось поговорить на эту тему, и в то же время оба сдерживались и откладывали день за днем, как это делают хронические больные, которые откладывают визит к доктору, чтобы хоть еще немного оттянуть роковой диагноз.

— Какую величайшую глупость я сделал! — в отчаянии заявил Пепко, когда проснулся после трехдневного кутежа в моей комнате.

— Кажется, это не должно бы тебя удивлять.

— Нет, серьезно, Вася.

Пепко сел на кровати, покрутил головой и начал думать вслух:

— Я, говоря между нами, свалял дурака...

да. На кой черт я сдавал на кандидата прав? Ну, на что мне это кандидатство?.. Все юридические науки основаны на определении прав сильного; все законы написаны победителями и насильниками, чтобы не затруднять себя приисканием какой-нибудь формулировки для каждой новой несправедливости. Поэтому лучшими юристами навсегда останутся римляне, как первостатейные хищники. Потом писал законы феодал, военный диктатор, крепостник, а впоследствии будет писать капитал, в котором рафинировались все виды рабства. Он, биржевик, потребует санкционирования этих прав, своего рода канонизации, и будет прав, потому что все остальные права основаны на том же единственном праве — праве сильного.

— Чем же, наконец, ты хотел бы быть?

— Профессором монгольских наречий... Это дало бы мне право ежегодно отправляться куда-нибудь в экспедицию. Слава богу, Азия велика, а у меня к ней влеченье, род недуга... Подозреваю, что во мне притаился тот самый татарин, о котором говорил Наполеон. Да... Теперь бы уж я делал приготовле-

ния к экспедиции, газеты трубили бы о «смелом молодом путешественнике», а там пустыня, тигры, опасности, голодовки и чудесные спасения. Потом возвращение из экспедиции, доклады по ученым обществам, лекции, статьи в журналах и овации. Женщины бегали бы за мной, как за итальянским тенором...

— Прибавь, что благодаря такой славной экспедиции ты удрал бы от собственной жены по крайней мере на год...

— И это имеет свою тайную прелесть.

— Ну, а теперь ты как думаешь устраиваться?

— Да я уж устроился... Разве я тебе не говорил? Имею честь рекомендоваться: вольнослушатель технологического института. Да... Я люблю математику вообще, как единственную чистую науку, которая по самой природе не допускает лени, а затем наш век — век по преимуществу техники. Не юрист, не воин, не философ перестроит весь строй нашей жизни, а техник... Да, в этом задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее разрешении. Будущая всеобщая история уже приготовляется в мастерских, выковывается под паровым

молотом, блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и скоро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс и здесь центр жизни...

Как я ни привык ко всевозможным выходкам Пепки, но меня все-таки удивляли его странные отношения к жене. Он изредка навещал ее и возвращался в «Федосьины покровы» злой. Что за сцены происходили у этой оригинальной четы, я не знал и не желал знать. Аграфена Петровна стеснялась теперь приходить ко мне запросто, и мы виделись тоже редко. О сестре она не любила говорить.

Так наступила зима и прошли святки. В нашей жизни никаких особенных перемен не случилось, и мы так же скучали. Я опять писал повесть для толстого журнала и опять мучился. Раз вечером сижу, работаю, вдруг отворяется дверь, и Пепко вводит какого-то низенького старичка с окладистой седой бородой.

— Вот он... — указал на меня Пепко.

Старец смотрел на меня темными глазами и протягивал руку.

Что-то знакомое было в этом лице, в гла-

зах, в самой манере подавать руку. Я как-то сконфузился я пробормотал:

— Извините, не имею чести знать...

— Не признали, Вася... то есть Василий Иваныч?

Именно звук голоса перенес меня через ряд лет в далекий край, к раннему детству, под родное небо. Старец был старинный знакомый нашей семьи и когда-то носил меня на руках. Я уже окончательно сконфузился, точно вор, пойманный с поличным.

— Никифор Евграфыч...

— Он самый... Давненько не видались, Василий Иваныч. А я адрец-то ваш затерял и на память искал по Санкт-Петербургу. Да вот, на счастье, они встретились, Агафон Павлыч...

— Представь себе, Вася, какая случайность, — объяснял Пепко. — Иду по улице и вижу: идет предо мной старичок и номера у домов читает. Я так сразу и подумал: наверно, провинциал. Обогнал его и оглянулся... А он ко мне. «Извините, говорит, не знаете ли господина Попова?» — «К вашим услугам: Попов»... Вышло, что Федот, да не тот... Ну, разговорились. Оказалось, что он тебя разыскива-

ет.

— Поистине, гора с горой только не сходится... — философствовал старец, оглядывая с любопытством провинциала нашу убогую обстановку. — А квартирка-то, Василий Иваныч, того...

— Не красна изба углами, а пирогами, — объяснил Пепко.

Пепко вообще почему-то ухаживал за старичком я всячески старался ему угодить. Появился самовар, полбутылка водки, колбаса в бумажке, несколько пирожков из ближайшего трактира и две бутылки пива. Старичок сидел на кушетке и рассказывал далекие новости.

— Анна-то Ивановна, аптекарша, померла от родов... Двое ребятишек осталось. Полицеймейстер у нас новый, барон Краус... Помните деревянные ряды, где о Николине дне торжок был? Сгорели еще в позапрошлом году... Теперь церковь новую строим. Не знаю уж, как господь поможет... Дядюшка-то ваш, Гаврила Павлыч, ножку себе сломали... Очень уж они любили лошадей диких объезжать, ну, а тут им и попадись не лошадь, а прямо

сказать — зверь. Замертво принесли домой дядюшку-то... Архирея нам нового обещают, а старой-то, Мисаил, на покой выпросился. Хороший был архирей... В третьем году купца убили. Это еще до чугунки, — теперь ведь под нас чугунку подвели.

Пепко накинулся на старца с какой-то непонятной для меня жадностью и засыпал его вопросами. Ему все было нужно знать, до судьбы моих тетушек включительно.

— Хорошо у вас там, на юге, а? — резюмировал он свой допрос.

— Уж на что лучше, Агафон Павлыч... Так хорошо, что помирать не надо. Я в первый раз в Питере, так даже страшно с непривычки. Все куда-то бегут, торопятся, точно на пожар... Тесненько живете. Вот бы Василью Иванычу домой съездить, стариков проведать. То есть в самый бы раз... Давненько не бывали в наших палестинах.

— Конечно, Васька поедет, — решил за меня Пепко. — Я ему давно это говорю... Всего три дня дороги.

— Вот, вот... Отдохнули бы у родителев. И родителям приятно... Не чужие люди.

— Я тоже домой поеду, к себе в Сибирь, — объяснял Пепко. — У меня мамаша... Славная такая старушенция.

— Так, так... Родителев завсегда нужно уважать, Агафон Павлыч.

Появление старичка нагнало на Пепку целый строй новых мыслей и чувств. Он просто бредил наяву и не дал мне спать целую ночь.

— В самом деле, Вася, поезжай домой. Право, лучше будет... Разве мы здесь живем? Так, призрак какой-то, кошмар... Там придешь в себя и будешь работать по-настоящему. Столицы только берут все от провинции, а сами ничего не дают. Это несправедливо... А провинция, брат, — все. Помнишь былину об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет. Так-то! — Подумав немного, Пепко неожиданно даже для себя прибавил: — А что, если бы у этого иконописного старца занять рупь серебра?

Дня через два старичок опять пришел. Он был озабочен какими-то делами, и Пепко в качестве юриста дал ему несколько хороших

советов. Это их сблизило окончательно. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопотал больше всего о моем отъезде. Меня это, наконец, возмущало. Какая ему в самом деле забота обо мне? Пусть едет сам, если нравится. С другой стороны, мысль о поездке занимала меня все больше и больше. Потянуло на родину... В течение последних трех лет я как-то редко думал на эту тему и все откладывал. Теперь уже нечего было ждать.

— В самом деле, Василий Иваныч, вот как махнем, — соблазнял меня старичок. — В лучшем виде... А как тятенька с маменькой обрадуются! Курса вы, положим, не кончили, а на службу можете поступить. Молодой человек, все впереди... А там устроитесь — и о другом можно подумать. Разыщем этакую жар-птицу... Хе-хе!.. По человечеству будем думать...

Еще накануне отъезда я не знал, уеду или останусь. Вопрос заключался в Аграфене Петровне. Она уже знала через сестру о моем намерении и первая одобрила этот план.

— Поезжайте, голубчик... — с твердостью уговаривала она. — Нужно все это кончить. Скучно будет, а все-таки лучше...

Что может быть грустнее таких прощальных разговоров? Я, кажется, еще никогда не чувствовал себя так скверно. Но нужно было решиться.

— Я всего на две недели, — говорил я, не знаю для чего. — Что я буду делать там, в провинции?

— Все-таки поезжайте... с богом.

Дебаркадер Николаевского вокзала. Паровоз уже пускает клубы черного дыма. Мой старичок ужасно хлопочет, как все непривычные путешественники. Меня провожают Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по случаю проводов сильно навеселе и коснеющим языком повторяет:

— Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись... легче дышать... поклонись храмам селенья родного. О, я и сам уеду... Все к черту! Фрей, едем вместе в Сибирь... да...

Второй звонок. Пепко отвел меня в сторону.

— Вот что, Вася... — заговорил он торопливо. — Помнишь, я тебе из Белграда тогда писал? Кончено, брат... Молодость кончена. Э, плевать... Я, брат, на себя крест поставил.

Третий звонок. У меня глаза затуманивает слезой, но я сдерживаюсь. У Пепки глаза тоже красные. Меня почему-то начинает разбирать злость.

Обер-кондуктор дает свисток. Я смотрю в окно вагона. Платформа точно дрогнула и поплыла назад, унося с собой Фрея, Пепку и Аграфену Петровну.

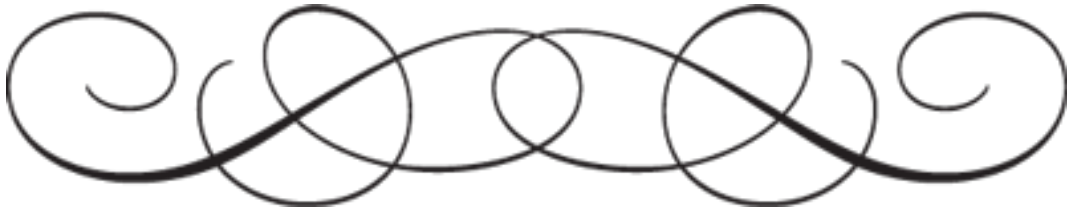
— Живио! — крикнул Пепко ни к селу ни к городу.

— Слава тебе, господи... — вслух молится мой старичок, откладывая кресты. — Донес бы господь живыми...

Скоро Петербург остался назади, а с ним осталась назади и «светлая юность»... Я думал о Пепке и чувствовал, как его люблю. Его дальнейшую историю расскажу как-нибудь потом.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

(Сборник)



Сестры

(Очерк из жизни Среднего Урала)

Глава 1

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы — числом десять — занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на посессионном праве; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже

едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя иностранцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской натуры, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза.

После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабжении заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заво-

дах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах.

Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой цифрой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец,

какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нравственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необходимости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим из заводов Кайгородова, но сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки в глубь Уральских гор, куда был

заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верст двести с лишком по самому плохому из русских трактов — Гороблагодатскому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась — это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский завод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшоная» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась назади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка

Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождая реку далеко по ее течению вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный городок, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широкой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился пред небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской стан-

ции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной кумачовой рубахе, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

— Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разе к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пущает, кто ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

— А где живет эта Фатевна? — спрашивал я.

— Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церкви.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза рукой, внимательно смотрела на меня.

— Здесь живет Фатевна? — спрашивал я.

— А тебе на што ее? — отвечала вопросом старушка.

— Да вот мне нужно квартиру...

— Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, милости просим, — весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одета была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую рубашку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными глазами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в «обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

— У меня тут живет жилец один, — говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, — ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

— Как же это так? Это неудобно будет... — протестовал я, — я никого не хочу стеснять...

— Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую светлую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашеный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бу-

маги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный табак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

— Вот все пол собираюсь выкрасить, — трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. — Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась, хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? — бойко спрашивала Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: — Не раздеретесь, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знако-

мым, но где я видел это лицо? когда? В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

— Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! — вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

— Какой там черт приехал? — ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. — Ба-батюшки, светы мой... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!..

— Именно судьбами... — проговорил я, и мы не только обнялись, но и перецеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

— Вот эк-ту лучше будет, — говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любуясь встречей старых товарищей. — Феша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! — звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. — Фешка, ли-ко, ли-ко!..

— А вы что тут рот-то разинули! — закричал Мухоедов на баб. — Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

— Что я вам за голубушка... — ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь по-прежнему в дверях. — Вот мамынька велит, так и принесу...

— Фатевна, водки, варенья, печенья! — неистовствовал Мухоедов, снова заключая меня в свои объятия.

— Варенья-то еще не наварили про вас, — огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, — в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица,

носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

— Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?!.. — с азартом накинулся Мухоедов на своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: — А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роняя слова, заговорил:

— Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

— Нет.

— Учитель греческого языка? железнодорожник?

— Нет.

— Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

— Служу отечеству...

— Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

— Я ни с кого ничего требовать не буду, — объяснял я, — мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в

заводском архиве.

— Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. — Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

— И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие морщины, которых раньше не было, да близорукие глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волосы были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой — словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки

и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовой экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответствующему требованиям и условиям нового времени.

— А почему я не верю? — заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. — Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков, рождений, смертей, но ведь количество — это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклипиодота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклипиодот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти; конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклипиодот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклипиодо-

та, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклипиодот и говорит доктору, что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклипиодот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой книжонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям, закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.». А в сущности, все это нарисовал Асклипиодот, и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

— В твоих словах, может быть, и много правды, — отвечал я, — но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет

своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, — самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать необходимые материалы.

— Да ну вас к черту вместе и со статистикой вашей! — довольно энергично проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. — Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высокая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

— Еще дщерь Фатевны, — проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. — Только она сегодня не в ударе...

— А что?

— Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинет на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну, пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житьишко, ажно тоска заберет, известно — сердце не камень, лишнюю рюмочку и пропустишь.

— А сюда-то ты как попал? — спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

— Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, — заговорил, махнув рукой, Мухоедов, — ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. — Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. — Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклоны, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был

оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, только жалованьишко маловато...

— Сколько ты получаешь?

— Тридцать семь рублев с полтиною.

— И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:

— И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он до-

шел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

— Одну колбасу изживете, вышлют дру-

гую.

— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и выпила с завидным аппетитом.

— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, статошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письмы да письмы, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то... А какие это деньги по нонешнему времю?

— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Ника-

ких денег я не посылаю...

— А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублев для своих родителев посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы *отстали*, нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового докто-

ра из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачиха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачиха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачиха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и

остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш modus vivendi[127] и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процент-

ные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудови-

ще, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной встававшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухо-

едов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

— А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности... Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... Tempora mutantur...[128] Теперь, братику, и сам База-

ров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова[129], что его песенка спета, теперь про нас то же говорят... Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

— А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, оглянешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видать этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество — так сердце кровью и обольется... Эх, золотое было времечко... А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть, и еще, под-

лец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенько; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководя-

щими каждым выдающимся движением студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он думал в простоте своего доброго сердца. Жили мы с Мухоедовым где-то в самом глухом переулке, занимая пятирублевую комнатку, через день обедая и переживая с лихорадочным жаром то счастливое настроение, которое безраздельно овладело всей тогдашней молодежью; мы не замечали той вопиющей бедности, которая окружала нас, и жили отлично, как можно жить только в двадцать лет. В это горячее время было пережито, может быть, слишком много счастливых молодым счастьем часов; воспоминанием об этом времени остались такие люди, как Мухоедов, этот идеалист с ног до головы, с каким-то особенным тайничком в глубине души, где у него жило то нечто, что делало его вечно довольным и беззаботным. Мне особенно было интересно проследить, что произошло с его тайничком

за последние десять лет, в которые русское общество пережило, передумало и перечувствовало так много, а он, Мухоедов, с головой окунулся в глубину житейского моря.

Из разговоров с Мухоедовым я убедился в том, что он остался вечным студентом и ревниво охранял свой заветный тайничок, хотя беспредельная вера в содержимое этого тайничка подвергалась сильным искушениям и даже требовала поддержки какого-то Гаврилы, пред которым Мухоедов преклонялся со свойственным ему самоотвержением, как он раньше преклонялся пред Базаровым. Мухоедов, кажется, сильно отстал от века, может быть, забросил свою любимую науку, не читал новых книжек и все глубже и глубже уходил в свою скорлупу, но никакие силы не в состоянии были сдвинуть его с заветной точки, тут он оказал страшный отпор и остался Мухоедовым, который плюнул на все, что его смущало; мне жаль было разбивать его старые надежды и розовые упования, которыми он еще продолжал жить в Пеньковке, но которые за пределами этой Пеньковки заменены были уже более новыми идеями, стремле-

ниями и упованиями. В лице Гаврилы явился тот «хороший человек», с которым Мухоедов отводил душу в минуту жизни трудную, на столе стоял микроскоп, с которым он работал, грудой были навалены немецкие руководства, которые Мухоедов выписывал на последние гроши, и вот в этой обстановке Мухоедов день за днем отсиживается от какого-то Слава-богу и даже не мечтает изменять своей обстановки, потому что пред его воображением сейчас же проносится неизбежная тень директора реального училища, Ваньки Белоносова, катающегося на рысаках, этих врачей, сбивающих круглые капитальцы, и той суеты-сует, от которой Мухоедов отказался, предпочитая оставаться неисправимым идеалистом. Жизнь его обогнала, выдвинув новые идеалы, и он продолжал с каким-то Гаврилой переживать старое, что было вынесено еще с университетской скамейки.

Глава 2

На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех; когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбавшиеся лица дочерей Фа-

тевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню.

— Что вы тут ржете, кобылы! — послышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись.

Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера «не в ударе»; улыбнувшись, она нерешительно проговорила:

— Вам, может быть, самоварчик понадобится?

— Да, если можно...

Глаша — так звали эту юнейшую отрасль Фатевны — скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар; это была высокая стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз. Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня исподлобья; выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила:

— А вы вместе учились с Епинетом Петро-

вичем?

— Да, вместе...

— Глашка, Глашка... ужо тебя мамынька-то! — слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост.

Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты; старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтеньем бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену: Фатевна, уперев руки в бока, фертом ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространство и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол; в это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет сорока пяти, с такой маленькой головкой,

точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк.

— Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна, — заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. — Недаром говорят, что бабье сердце, все равно что худой горшок...

— Ах, ты... — завопила Фатевна, становясь в боевую позицию и упирая руки в бока. — Не тебе бы говорить, не мне бы тебя слушать, живая боль...

— А ты — сухая мозоль, — храбро ответила женщина с маленьким лицом. — Я тебе правду говорю... вон и барин сидит: ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыдилась чужих-то людей... Ведь приезжий барин все видит, все...

Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на

приступочке у входных дверей и отсюда отстреливался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамаши. Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц:

— Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят... Это не прилично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила... Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него!

Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля; через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на целую улицу:

— Сирота я горемышная... Нету у меня ни роду, ни племени, родного батюшки-заступничка... Некому заступить за меня, сироту горемышную!

Это причитанье вызвало громкий смех де-

вушек и отчаянную ругань Фатевны; я отошел к окну, выходившему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводский пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо покряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы; а там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд.

Было часов десять утра; легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала, и в воде снова целиком отражалось высокое, бледно-голубое небо с разбросанными по нему грядами перистых облачков; в глубине пруда виднелась зеленая стена леса, несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире три барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз

всем туловищем; у почерневшей деревянной будки сидел седой старик; несколько мальчишек удили рыбу с плотины; какая-то старушка-дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой средине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними двумя расходившимися полосами.

— Ты уж встал, — говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол.

— Да, встал.

— И чаю напился?

— Да.

— Ну, и отлично... А я нарочно тебя предупредить пришел: ты теперь в завод не ходи, там Слава-богу шатается, еще, пожалуй, придерется, а ты ступай теперь к попу Егору, он тебе все метрики покажет; пока ты пробудешь у попа, Слава-богу уйдет из заводу кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу и в архив сведу. Понял?

Заметив тихо хныкавшего на своем при-

ступочке Пушкина, Мухоедов проговорил:

— Сражение было?

— Да.

— Ну, сие тоже входит в наш modus vivendi и служит нам для очищения застоявшихся кровей... Эй, Галактионовна! — закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор, — перестань выть; хочешь водки?

— У вас незнакомый мущина... — застенчиво отозвалась Галактионовна, — я ведь не пойду в комнату постороннего мущины, как бесстыжая Глашка...

— А, теперь понимаю, — улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов, — наша Глафира сегодня в ударе... А у меня со вчерашних разговоров сегодня главизна зело трещит.

Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по улице, к небольшому двухэтажному дому, где жил о. Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком; мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сба-

вить цену за венчание сына.

— Я тебе говорю, друг мой, — мягко объяснял батюшка, — что я не могу, никак не могу... Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить и другим, понял?

— Андроник дешевле венчает, — говорил «друг мой», почесывая затылок.

— Ты, друг мой, и ступай к отцу Андронику; я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает, а я не могу... Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради Христа! — взмолился мужик. — Ведь страда наступает, до смерти сына надо женить; ведь время-то теперь какое... а?

— Не могу, друг мой...

Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими изжелена-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения.

— А, очень рад, очень рад, — торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен... Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйте.

Батюшка пошел вперед меня; это был еще совсем юноша, лет двадцати двух, с бледным лицом, и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера; мягкий певучий голос и плавные движения делали это сходство поразительно близким, только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкою мебелью; у окна стоял хорошенький письменный столик, заваленный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий

ковер на полу, — все было мило, прилично и совсем не по-поповски, за исключением неизбежных премий из «Нивы», которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам.

Батюшка позвонил в колокольчик; явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях; батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко:

— Пусть он придет сюда.

Мы остались вдвоем; батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оставить эти занятия.

— Ведь вы войдите в положение русского священника, — говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. — Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас... Поставьте себя на мое место... Да, очень груст-

ное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливые нарекания. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности... Но ведь, помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дрязгами нашего быта.

— Homo sum, nihil humanum mihi alienum est,[130] — с улыбкой прибавил батюшка. — Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе; подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные члены общества, — вот вам и целый circulus vitiosus,[131] из которого не можешь никак вырваться и который с каждым годом затягивает все сильней и сильней.

Эта мерная, как журчащий ручеек, речь о. Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный поры-

жевший драповый подрясник цвета Bismark-furioso; я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклипиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклипиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полки своего подрясника; яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же Bismark-furioso, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы — все это, вместе взятое с протяженно-сложенностью Асклипиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление, особенно рядом с чистенькой и опрятной фигуркой о. Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле.

— Вы, отец Георгий, присылали за мной служанку... — нерешительно заговорил Асклипиодот приятным баритоном.

— Да, Асклипиодот, ты к завтрашнему дню

приготовишь метрики и передашь их вот им, — проговорил о. Егор, показывая движением глаз на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел... уволиться у вас.

— Ах, какой ты странный, Асклипиодот, — с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. — Если я тебя прошу... Неужели ты не понимаешь?

Асклипиодот сильно засопел носом и смолк; только пальцы руки, придерживавшей полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклипиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «вот тебе, о. Андроник, набродили мы с тобой рыбки...»

Поблагодарив батюшку за его любезную готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет; в передней опрятная «служанка» не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклипиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками.

— А мы с Андроником собрались было рыбу бродить... — говорил Асклипиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки.

— Мне не нужно метрик сейчас, — объяснял я Асклипиодоту, — вы можете отправляться, куда угодно, а я подожду.

— А вы слышали, что он сказал? Да-с... Когда он скажет: «если я вас прошу», значит — кончено, вынь да положь, а то оштрафует или на поклоны поставит в алтаре... Он у нас мягко стелет, да жестко спать.

— Право, я не знаю, как быть с этим делом... Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы.

— Устроимте маленькую сделочку... у меня искра блеснула, — проговорил Асклипиодот. — Он вас непременно спросит после, когда вы получили от меня метрику, а вы и скажете, что сегодня.

— С удовольствием.

— Покорно вас благодарю... — проговорил Асклипиодот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.

Асклипиодот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об о. Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу; о. Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих палестинах. Это отсутствие любопытства в о. Егоре впоследствии совершенно объяснилось: батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе, и, как оказалось, его «служанка» ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к Фатевне и по пути заполучила все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухоедову; «искра», блеснувшая в голове Асклипиодота, и его благодарственный поцелуй моей руки были только аксессуарами, вытенявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus[132] нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спу-

стился по улице под гору и очутился пред самой фабрикой, в недра которой меня не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок-караульщик; пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других — зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади, там и сям, виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня; они как-то особенно мягко ступали в

своих «пряденикaх»; у входа в катальную, на низенькой деревянной скамейке, сидела кучка рабочих, вероятно, только что кончивших свою смену: раскрытые ворота рубашек, покрытые потом и раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки — все говорило, что они сейчас только вышли из «огненной работы».

Вдали, в грудах беспорядочно наваленных дров, мелькала пестрая, покрытая сажей толпа «дровосушек» и поденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем недвусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы, и громкий девичий смех, как-то мало гармонировавший с окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухоедова в глубине рельсовой катальной; он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку; молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руке целый пук зажженной лучины; я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно

выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса, около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными клюками; где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — предупредил меня Мухоедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры.

Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался; это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких отдельных, «сваренных» между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро ка-

тил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернуть валы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдребезги. Двое рабочих в кожаных передниках, с тяжелыми железными клещами в руках, встали на противоположных концах катальной машины, тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью; рабочие

ловко подхватывали эту красную, все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо.

— Ну что, видел огненную работу? — спрашивал меня Мухоедов, когда совсем готовый двенадцатипудовый рельс был брошен с машины на пол. — Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло.

Мы прошли в то отделение, где с страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски «маховик»; вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер.

Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой; молодой человек, машинист, одетый в замазанную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика; около окна стоял плотный, приземистый старик с «правилом» в руке.

— Это наш плотинный, Авдей Михай-

лыч, — шепнул мне Мухоедов.

Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения; мы полюбовались вертевшимся в полторы тысячи пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской; обыкновенная войлочная шляпа, какую носили все рабочие, пестрядевая рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные перчатки дополняли костюм Авдея Михайлыча; судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике.

— Вот этот молодец вместе с Слава-богу, — говорил Мухоедов, показывая на удалявшего-

ся Авдея Михайлыча, — совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика... Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали, один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике, только клочья мяса остались; конечно, сейчас следователь явился, притянули на суд Слава-богу и Авдея Михайлыча, а они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист-то из-за них на поселенье, а им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство... Эксперты — свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел.

В катальной листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная крица весила всего несколько фунтов; в печах мартена, в небольшое отверстие, я долго любовался расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного

железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики[133] на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа.

Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик, в лохмотьях и без шапки; он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детскою улыбкою забормотал:

— Здорово, Иваныч... Иваныч, здорово... убили... сорок восемь серебром убили... Да. Я приказал попу... я велел молебен, Иваныч...

— Это Яша-дурачок, — объяснил Мухоедов, — помешался на том, что он управитель завода.

— Иваныч... часы... купи часы... — бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек.

— Покажи, Яша.

— Часы, Иваныч... и ночью ходят, Иваныч...

Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак; спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу:

— Убили... сорок восемь серебром... Иваныч, убили!

— Яша всех зовет Иванычами, — объяснял Мухоедов.

После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли, точно клочья серебряной пены, легкие перистые облачка; фабрика казалась входом в подземное царство, где совершается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на «огненное дело», как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал бог первому человеку и как это происходило

именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сгорает самый богатый запас рабочей силы.

— А вон *Ястребок* наш прогуливается, — говорил Мухоедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. — Это наш надзиратель, Павел Григорьич Рукавицын; я у него под началом состою... Ужаснейшая бестия, берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным, а если кто не приходит с поклоном — и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич, тоже немаловажная птица в нашей иерархии; уставщик да плотинный — это два сапога — пара, теплые ребята и ловко обделывают свои делишки, а Ястребок видит — не видит, потому рука руку моет.

Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтанье у него было темно-зеленого цвета да шляпа немного пониже; он держал в руках такое же «правило» и ходил таким же медленным тяжелым

шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и с своей стороны постарается и т. д. Я, конечно, поблагодарил его; эта мирная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось.

— Пал Григорич... крицей ногу отсадило, — равнодушно проговорил он, точно это было самым обыкновенным делом, — Степку Ватрушкина задавило...

— А... хорошо, я сейчас иду, — отвечал Рукавицын таким тоном, как будто одного его появления было совершенно достаточно, чтобы раздавленная нога какого-то Степана Ватрушкина сейчас же получила бы свой прежний вид.

Мы торопливо прошли в катальную; толпа рабочих с равнодушным выражением на лицах молча обступила у самой катальной машины лежавшего на полу молодого парня, ко-

торый страшно стонал и ползал по чугунному полу, волоча за собой изуродованную ногу, перебитую упавшим рельсом в голени. Кровь сильно сочилась из пестрядевых портов, образуя около пряденика, где были намотаны онучи, целый мешок; раненый с обезумевшим взглядом обращался ко всем, точно отыскивая себе поддержки, участия, облегчения. Его молодое, искаженное страхом лицо было бледно как полотно, волосы прилипли ко лбу тонкими прядями, глаза округлились и вращались в своих орбитах с выражением оцепенелого ужаса, как у смертельно раненной птицы; мне в первый раз пришлось видеть раздавленного человека, и едва ли есть что-нибудь тяжелее этой потрясающей душу картины.

— Ба-атюшки!.. бра-атцы!.. Аааа!.. Восподи Исусе!.. ой, смерть моя, братцы!.. — стонал раздавленный раздирающим душу голосом.

— Степан, что это с тобой случилось? — спрашивал Рукавицын, наклоняясь над Ватрушкиным.

— Пал Григор!.. отец!.. о-ох! родимой мой!.. прости меня, Христа ради!.. ааааа!!! Крицей

ногу отрезало… Пал Григор… о!!!

— Доктора!.. — кричал Рукавицын, стараясь поддержать раненого в полусидячем положении. — Не пугайся, Степан, ничего… Бог даст, пройдет…

Какой-то господин с красным лицом, ястребиным носом, серыми вытаращенными глазами и взъерошенными волосами вбежал в катальную и, ожесточенно махая руками, издали кричал:

— А, шерт взял!.. а сукина сына!.. а швин!.. а канайль!.. Кто раздавиль?!.. Где раздавиль?!.. А, шерт меня возьми!!!

По вежливо расступившимся рабочим я догадался, что это и был сам Слава-богу; он наклонился к Ватрушкину, продолжая страшно ругаться.

— А ничего, шерт возьми… Пустяки!.. — Немец выпустил целую серию самых непечатных выражений и продолжал кричать какую-то тарабарщину, в которой можно было разобрать слова: «швин», «канайль» и «бэстия».

— Карл Иваныч… ой, смерть моя пришла!.. — как-то глухо застонал Ватрушкин, со-

всем распускаясь на поддерживавших его руках.

— Дохтур... пустите дохтура! — опять заколыхалась толпа, пропуская небольшого роста женщину, почти девушку, которая бежала с полотенцем в руках.

Я не мог выносить дальше этой сцены и вышел скорее на свежий воздух; моя голова начинала тихо кружиться, и нужно было выпить несколько глотков холодной воды, чтобы прийти в себя. Машинально я прошел в дальний конец завода, где стояли домны, и опустился на низенькую скамеечку, приставленную к кирпичной стене какого-то здания; вид раздавленного человека подействовал на нервы самым угнетающим образом. Из оцепенения вывел меня тихий разговор двух рабочих, которых мне было не видно и которые, очевидно, разговаривали из-за какой-то работы.

— Степку-то ладно как давануло, — говорил совсем молодой голос, сильно растягивая слова.

— У нас, почитай, каждую неделю кого-нибудь срежет у машины, — равнодушно отве-

чал немного хриплый басок. — Мы уже привыкли... оно только спервоначалу страшно, поджилки затрясутся, а потом ничего. Двух смертей не будет, одной не миновать.

— Но-но-но?!

— Верно тебе говорю.

Молчание; легкое посвистыванье, а затем опять разговор вполголоса.

— Это кому утюги-то отливать будут?

— Известно, кому: Ястребку.

Опять молчание; потом стук от чего-то тяжелого, брошенного в землю.

— А как-то намеднись, — продолжал второй голос, — я устроил какую штуку... Эдак же приготовил две формы да потихоньку и отлил два утюжка, а сам и похаживаю, как ни в чем не бывало. Совсем остыли, стал я из песку их лучиночкой откапывать... Сижу эдак на корточках, мурлыкаю про себя, а сам копаю. Только, как на грех, шасть в формовальную «сестра» и прямо ко мне... «Чего делаешь?» — «А вот, говорю, под форму место выбираю...» Так нет, лесной его задави, точно меделянский пес, по духу узнал, где мои утюги, откопал их, показывает перстом и говорит: «Это

што?» — «Утюги», — говорю... А потом в ноги... «Прохор Пантелеич, не сказывай надзирателю; ей-богу, в первый и последний раз...» Он-таки заставил меня в песке-то поваляться, а простил и утюги мои взял да к караульщику в будку и поставил; я поглядел это, и так мне стало жаль этих утюгов, так жаль... ну, просто тоска инда напала, и порешил я, что непременно я сдую эти утюги у «сестры». А «сестра» взять-то взяла у меня утюги, да и забыла про них, а я каждый день к караульщику наведываюсь, хоть издали полюбуюсь на них, а они, утюжки-то, стоят на полочке кверху носочками и, точно чирочки, выглядывают на меня... Дня три эту муку я примал, а потом караульщик отвернулся из будки, я утюги за пазуху да прямо к целовальнику, двугривенный без слова отдал... Во как!

— Ловко!..

— Уж так вышло ловко, что и не придумаешь. После «сестра»-то хватилась утюгов, прибежала к караульщику, а их и след простыл... «Сестра» ко мне: «Твоих рук дело, Елизарка?»

— Н-но-о?

— Верно... «Окромя тебя, говорит, некому

такой пакости сделать...» Ну, да с меня взятки гладки, с голого, что со святого, немного возьмешь. Шшш!..

Послышалось предостерегавшее шипение, а затем осторожный шепот и сдержанный смех:

— Елизарка, ли-ко, ли-ко: «сестры»-то...

— Ах, родимые мои, сколь они хороши, сердешные!

Я оглянулся, в мою сторону приближался плотинный и уставщик, это и были те «сестры», о которых рассказывал плутоватый Елизарка своему товарищу; трудно было подобрать более подходящее название для этой оригинальной пары, заменявшей Слава-богу уши и очи. Когда я выходил из завода, в воротах мне попался Яша, который сильно размахивал своей палкой и громко кричал:

— Убили... Иваныча убили... сорок восемь серебром... убили... приказываю... спасибо, Иваныч, начальство уважаете! Иваныч, убили...

Глава 3

Мухоедов вернулся очень поздно из завода; он был бледен, расстроен и страшно ру-

гался, бегая по своей комнате из угла в угол.

— Ведь ты только пойми: семья, один работник и теперь ему отнимут ногу! — горячился Мухоедов. — И ведь это обыкновенная история... Впереди бедность и нищета, голодные ребятишки... а наше заводоуправление хоть бы палец разогнуло в пользу этих калек! Этот Слава-богу до того был отвратителен давеча, что, право, с удовольствием бы сотворил ему заушение... Ах, подлецы, подлецы! Вот ты составь-ка статистику этим калекам по милости Слава-богу и тем грошовым пособиям, которые выдаются им единовременно в размере двух — трех рублей!.. Это два рубля получить за целую ногу, за рабочую силу, которая вынесет пятнадцать лет огненной работы?!!

Вечером мы отправились к Гавриле Степанычу. Мухоедов всю дорогу не переставал говорить о «самородке», припоминая из его жизни один эпизод за другим.

— Ты представь себе хоть такую картину, — ораторствовал мой приятель, шагая рядом со мной. — К тридцати годам Гаврило Степаныч выбился из черного тела, его опре-

делили механиком на завод... У него была знакомая девушка, которую он очень любил и которая, в свою очередь, отвечала ему тем же, — и что же? Ты думаешь, он женился?.. Ничуть не бывало... Да не в этом сила, что он не женится, а в том, из-за чего не женится. У него, видишь ли, был какой-то брат, этот брат умер и оставил после себя большую семью без гроша денег, и вот Гаврило Степаныч сказал себе, что не женится, пока не выведет в люди своих племянников и племянниц... Сказал и сделал. Восемь лет убил на них, выучил и определил на места, невеста все ждала, а потом они соединились узами брака и теперь живут, яко два голубка. Я давеча из завода посылал ему сказать, что тебя приведу.

Мы подошли к небольшому домику в пять окон, до нас донеслись звуки рояля и певший что-то мужской приятный голос; потом послышался очень сильный кашель, продолжавшийся все время, пока мы поднимались по небольшой лесенке в сени и раздевались.

— Ну, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла?! — заговорил Мухоедов, врываясь в небольшую гостиную, где из-за рояля на-

встречу нам поднялся сам Гаврило Степаныч, длинный и худой господин, с тонкой шеей, впалыми щеками и небольшими черными глазами. — Что тебе доктор сказал... а? Ведь тебе давно сказано, что подохнешь, если будешь продолжать свое пение.

— Нельзя, сегодня у нас спевка, — мягко отвечал Гаврило Степаныч, здороваясь со мной.

— Что же, ты, вероятно, будешь кашлять по нотам? Вот рассуди, пожалуйста, — обратился Мухоедов ко мне, тыча Гаврила Степаныча рукой в грудь. — Вот человек одной ногой в могиле стоит, на ладан дышит и продолжает себя губить какими-то спевками... Не есть ли это крайняя степень безумия?..

— Ты можешь успокоиться, — говорил Гаврило Степаныч, усаживая нас около круглого стола, — я на днях переезжаю на Половинку и проживу там до осени... Можешь рассчитывать смело, что я переживу тебя. Ах, да расскажи, пожалуйста, что это произошло в заводе? Я сегодня посажен доктором на целый день в комнату и слышал только мельком, что Ватрушкину ногу рельсом отрезало. Как

дело было?

— Как дело было?.. Отрезало ногу и вся недолга... Ну да не стоит об этом говорить, словами тут не поможешь, самое проклятое дело, а вот ты, братику, переезжай скорее на Половинку, мы к тебе в гости будем ездить. Ах, Александра Васильевна, здравствуйте, голубушка; вот я вам статистику привел головой!..

Среднего роста белокурая дама с бледным, спокойным и выразительным лицом протянула мне руку, улыбнулась своей спокойной улыбкой и проговорила, обращаясь к Мухоедову:

— Скажите, Епинет Петрович, что было в заводе?

— Ах, не спрашивайте: раздавило живого человека настолько, что он еще может прожить нищим до ста лет... Слава-богу обругал нас всех, Ястребок тоже дуется на кого-то — словом, самая обыкновенная история.

Небольшая гостиная, в которой стоял рояль, была почти совсем без мебели, за исключением небольшого диванчика, круглого столика пред ним и нескольких венских стульев;

на стенах, оклеенных голубенькими дешевыми обоями, висело несколько олеографий. Неровный пол был когда-то покрыт желтой краской, а теперь остались только кой-где следы этой краски; воздух был пропитан, как в больнице, запахом каких-то лекарств и тяжело действовал на свежего человека. Из передней небольшая дверь вела в кабинет хозяина, маленькую комнату, выходившую двумя светлыми окнами на двор; в кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами, около стен стояли два больших шкафа с книгами. И гостиная и кабинет отличались вообще большой простотой обстановки, близко граничившей с бедностью.

Александра Васильевна спросила самовар, и сама принялась угощать нас чаем; после некоторой неловкости, которую неизбежно вносит с собой каждый новый человек, мы разговорились, как старые знакомые.

— У меня просто на совести этот Ватрушкин, — говорил Гаврило Степаныч, — из отличного работника в одну секунду превратиться в нищего и пустить по миру целую семью за собой... Ведь это такая несправедли-

вость, тем более, что она из года в год совершается под носом заводоуправления; вот и мы с тобой, Епинет, служим Кайгородову, так что известная доля ответственности падает и на нас...

Гаврило Степаныч говорил с тяжелой одышкой, постоянно вытягивая длинную шею, точно его что-то душило; его длинные костлявые руки с широкими холодными ладонями бессильно лежали на коленях какими-то палками. Синие, сильно вздутые жилы на лбу, висках, шее и на руках, серовато-бледная кожа, с той матовой прозрачностью, какая замечается у больных в последнем периоде чахотки, — все это были самые верные признаки, что Гаврило Степаныч не жилец на белом свете, и я только удивлялся, как Мухоедов не замечал всего этого...

— Самый крепкий рабочий израбатывается в пятнадцать лет на огненной работе, — продолжал Гаврило Степаныч, отпивая несколько глотков из своего стакана. — И все-таки живет он изо дня в день, в будущем у него ровно ничего, а в случае несчастия — нищета. Да чего лучше, я расскажу вам такой

случай. Есть у меня знакомый углепоставщик, мужик зажиточный, лет десять исполняет исправно подряд; заготовка дров, обжигание угля, вывоз угля в завод — вот это стоит огненной работы, и, кроме того, это очень сложная операция, растянутая на целый год, и вдобавок деньги начинают выдавать только вместе с вывозом угля, так что только зажиточный двуконный рабочий может приняться за ее выполнение. И что же, падет лошадь, сгорит кученок[134] — мужик разорился. Я стал вам рассказывать про своего знакомого углепоставщика: приходит ко мне осенью, когда пал первый снег, и в ноги... Что такое? Так и так, настрадовал летом большой зарод сена, приехал по первопутку за сеном, а вместо зарода одни стожары стоят... Нужно вывозить уголь, пора самая спешная, а кормить лошадей нечем и сена купить не на что; а время идет, каждый час дорог, мужик сунулся к нашим «сестрам»... Это рабочие так плотинного и уставщика у нас зовут. Одна «сестра» запросила рубль на рубль, другая полтораста процентов, вот мужик и прибежал ко мне, плачет — или продавай лошадей

и уголь на месте за бесценок, или ступай в кабалу к «сестрам». Ведь положение безвыходное, а это самый справный мужик, отличный работник. Вы видите, как немного нужно рабочему, чтобы сделаться нищим, а между тем, судя по заработкам, нужно бы всем жить зажиточно; вся суть в том, что рабочий не умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастия и постоянно зарывается, а как зарвался — одна дорога к «сестрам», те последнюю шкуру спустят.

Гаврило Степаныч подробно и с большим азартом рассказал историю основания пеньковского ссудо-сберегательного товарищества, которое прошло через целый ряд мытарств: сначала тормозили дело «сестры», потом каким-то образом вмешались Ястребок и Слава-богу, наконец, после всех этих передряг, посланный министру финансов устав товарищества утвержден, и товарищество открыто. Мухоедов не преминул ввернуть в разговор «паллиативы врачихи».

— По-моему, врачиха с своей точки зрения права, — говорил Гаврило Степаныч, — она

смотрит с точки зрения той теории, которая говорит, что чем хуже, тем лучше, и предпочитает оставаться в величественном ожидании погоды, а по-моему, самое маленькое дело лучше самого великого безделья. Странно только одно: почему люди, получившие даже высшее образование, так отвертываются от наших небольших предприятий; пословица говорит — и Москва не вдруг строилась: нельзя же прямо из-под правила «сестер» да фаланстерию устраивать[135]... Все нужно вдруг, разом, — вот наша беда; а где приходится тянуть из года в год, даже целую жизнь, сейчас и на попятный двор: спрятался за умное слово, все, мол, это паллиативы и вы-де, господа, идеалисты...

— Вот это отлично сказано, — восхищался Мухоедов. — Именно: спрятался...

— Конечно, есть у нашего товарищества свои слабые места, — продолжал Гаврило Степаныч. — Мы пока не можем выдавать больших ссуд и, следовательно, не можем вырвать рабочего из крепких рук «сестер»; затем, товарищество не пользуется настоящим кредитом в глазах рабочих, которые смотрят

на него, как на пустую затею. А главное — товарищество в самом себе несет зародыш своей гибели, потому что его появление и существование связано с нашей жизнью: не стало нас, и товарищество распадется... Я не закрываю глаз на все эти недостатки и даже, может быть, преувеличиваю их; но ведь это товарищество — первый шаг. Имеет громадную важность самая форма, она приучает рабочего к мысли, что единственное его спасение в артели. От ссудо-сберегательного товарищества мы перейдем к обществу потребителей; может быть, и удастся вырвать рабочего не только из рук «сестер», но и из рук прасолов, которым рабочий теперь переплачивает на каждой тряпке, на каждом фунте муки. Главное: пусть сначала привыкнут к самой форме артели и не смотрят на дело, как на медведя, а содержание явится... Да.

Все это высказывалось порывисто, прерывалось страшным судорожным кашлем, после которого Гаврило Степаныч должен был отдыхать и пить какие-то успокоительные капли; Александра Васильевна мало принимала участия в этом разговоре, предоставляя

мужу полную свободу высказать все, что у него накипело на душе. По ее ласково смотревшим, встревоженным глазам можно было читать, как по книге, насколько сильно она любит этого больного, кашляющего человека; она, вероятно, тысячу раз уже слышала эти разговоры, но опять слушала их с таким вниманием, как будто все это ей приходилось слышать в первый раз. Так умеют слушать только глубоко любящие, честные натуры, которые не отделяют себя от любимого человека.

— Много ли вас, не надо ли нас? — послышалось неожиданно из передней, где происходила какая-то тяжелая возня и сильный топот, точно закладывали лошадь.

— А, это вы, отче? — заговорил Гаврило Степаныч, вставая навстречу входившему в комнату невысокого роста старику священнику, который, весело улыбаясь, поздоровался со всеми, а меня, как незнакомого человека, даже благословил, чего молодые батюшки, как известно, уже не делают даже в самой глухой провинции, как, например, о. Георгий, который просто пожал мою руку.

— А мне говорил о вас Асклипиодот, — добродушно басил о. Андроник — это был он, — поглаживая свою седую бороду. — Вы совсем было нас без рыбы оставили... А каких мы окуней набродили с ним, во! — Отец Андроник отмерил на своей пухлой, покрытой волосами руке с пол-аршина. — Ей-богу, так... А метрику Асклипиодот вам завтра же доставит, только вы уж Егору-то ничего не говорите, а то он сейчас архирею ляпнет на нас, ни с чем пирог.

— Кто это «ни с чем пирог»? — спрашивал Мухоедов.

— А Егорка-то наш злемудрствующий!.. Он и есть «ни с чем пирог».

Асклипиодот смиренно стоял в дверях в своем неизмеримом подряснике цвета Bismark-furioso, нерешительно улыбался и попрежнему целомудренно придерживал расходившиеся полки; Александра Васильевна предложила ему стул. Асклипиодот неловкой походкой перешел через комнату, точно он шел по льду, и поместился на самом кончике стула, продолжая придерживать одной рукой полы. Отец Андроник был среднего роста,

некрасиво скроен, но плотно сшит; его добродушное широкое лицо с сильно выдавшимися скулами и до самых глаз обросшее густой бородой, так и дышало беспредельным добродушием и какой-то особенной старческой веселостью, а в больших темных глазах так и светились искорки, особенно когда он улыбался. Одет о. Андроник в зеленый подрясник, широкий гарусный пояс, каких молодые батюшки не носят, поверх подрясника была надета отцветшая ряска небесного цвета, полки которой на круглом, как арбуз, животе о. Андроника совсем расходились; говорил о. Андроник страшным басом, любил громко хохотать, время от времени извлекал откуда-то из глубины своих карманов небольшую серебряную табакерку и громогласно набивал свой большой, обросший волосами нос нюхательным табаком, который он называл «антихристовым порошком». В фигуре и в привычках о. Андроника природа все пустила в больших размерах, не затруднив себя особенно тщательной отделкой деталей.

— А ведь у меня хина-то[136] на вторые яйца села, Александра Васильевна! — торже-

ственно объявил о. Андроник, принимая от хозяйки второй стакан чаю. — Вот спросите у Асклипиодота, он вам все расскажет...

— В самом деле?! Ваша хина — удивительная курица, — отозвалась Александра Васильевна, для которой все хозяйственные вопросы и раритеты были необыкновенно близки к сердцу.

— Да-с... Хина третий год по три раза на яйца садится, — объяснял Асклипиодот, обжигая пальцы горячим чаем. — Она с первого февраля начинает нести каждый день и в половине апреля садится на первые яйца; в мае выводит цыплят, опять несет яйца, а в средине июня садится на вторые яйца. Когда выведет вторых цыплят и нанесет яиц, в конце июля садится на третьи яйца. Очень плодородная курица...

— Она мне больше сорока цыплят каждый год выводит, — с гордостью заявлял о. Андроник. — У меня Егорка, «ни с чем пирог», припрашивал было одну молодку, только я ему перышка куриного не дам, не то что курицы; я вам, Александра Васильевна, с Асклипиодотом пошлю завтра парочку молодок и петуш-

ка. Спасибо скажете старику: яйца несут по кулаку...

— Мне совестно, отец Андроник, — заговорила Александра Васильевна, которой хотелось иметь молодок и не хотелось брать их даром. — Я у вас покупала, да вы тогда не продали мне...

— И теперь не продам, потому это не порядок: за деньги молодки нестись не будут, не такое это дело, чтобы за деньги его можно было купить. Да. А что вам совестно от меня молодок в подарок, так это пустое: дело житейское, как-нибудь сочтемся... Поповские глаза завидущие, чего-нибудь припрошу — вот и квиты.

— Вам бы, отец Андроник, вашу хину куда-нибудь на сельскохозяйственную выставку послать, — предлагал Мухоедов. — Выдали бы диплом или медаль...

— Кому?

— Вашей хине, конечно.

— О, ха! ха!.. — разразился о. Андроник таким смехом, что стекла в окнах зазвенели. — Моей хине медаль... О, ха! ха! ха!.. Как чиновнику... Ха! ха!.. У Егорки диплом, и у хины ди-

плом; у Егорки медали нет, а у хины медаль... О, ха! ха!.. Сморил ты меня, старика, Епинет Петрович... Асклипиодот: курице — медаль... ммеда-ааль... а?

Долго хохотал о. Андроник, надрываясь всем своим существом, Асклипиодот вторил ему немного подобострастным хихиканьем, постоянно закрывая рот широкой корявой ладонью; этот смех прекратился только с появлением закуски и водки; о. Андроник выпил первую рюмку, после всех осмелился выпить Асклипиодот; последний долго не мог поймать вилкой маринованный рыжик, даже вспотел от этой неудачи и кончил тем, что взял увертливый рыжик с тарелки прямо рукой.

— А ведь Галактионовна на меня стихи написала, — заявлял о. Андроник после второй рюмки. — Вот Асклипиодот слышал... Все описала, скрипка этакая!

— А я знаю эти стихи, отец Андроник, — говорил Мухоедов. — Хотите — прочитаю?..

— Н-но?

— Вы не обидитесь?

— Я?.. Да ведь мне все равно; я знаю, кто

Галактионовну науськивает на меня: это Егорка... Читай, братчик, я послушаю.

Мухоедов откашлялся и прочел длинное стихотворение, начинавшееся словами:

Днесь пеньковская страна прославляется,
Отец Андроник в сметане валяется...

Мы хохотали, как сумасшедшие, а громче всех хохотал сам о. Андроник; когда Мухоедов кончил, он проговорил:

— Может быть, а врет... Никогда я в сметане не валялся: все врет!.. Это ее Егорка научил... Только я, братчик, когда-нибудь доберусь до него!..

После закуски происходила самая спевка, Александра Васильевна села за рояль, а Гаврило Степаныч, о. Андроник и Асклипиодот исполнили трио несколько пьес Бортнянского и Львова с таким искусством, что у меня от этой приятной неожиданности по спине мурашки заползали, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к «духовному», а трехголос-

ная херувимская приводит не только в восторг, но даже в состоянии исторгнуть слезы умиления. Гаврило Степаныч владел довольно сильным тенором, о. Андроник «давил октавой», Асклипиодот пел баритоном; мне особенно нравился последний. Он встал в уголок позади рояля, по обыкновению захватив одной рукой полки своего подрясника, а другой прикрыл рот, но из его шершавой глотки полились такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что октава о. Андроника и тенор Гаврилы Степаныча служили только дополнением этому богатейшему голосу, который то спускался низкими мягкими нотами прямо в душу, то с силой поднимался вверх, как туго натянутая струна. Особенно эффектно были исполнены «Симановская» — херувимская Бортнянского, «Хвалите имя господне», его же, и, наконец, как chef-d'oeuvre, совсем незнакомая мне херувимская «Раззоренная».

— Право, стоит жить, чтобы слушать эти мотивы, — шептал Мухоедов, совсем съежившись в углу дивана.

Это пение было прервано страшным кашлем Гаврилы Степаныча, с которым сде-

лалось даже что-то вроде припадка, — хлынула кровь горлом, и он начал задыхаться.

— Ничего, ничего... Не беспокойся, Саша, — успокаивал он жену. — Ведь это со мной бывает... пройдет...

— Ведь говорил я тебе, говорил... — корил Мухоедов своего приятеля, который только печально улыбнулся и, махнув рукой, низко наклонил свое побледневшее лицо.

— Уеду я скоро... поправлюсь, — с улыбкой говорил Гаврило Степаныч, прощаясь с нами. — Спасибо, господа... Саша, проводи их... Спасибо, Асклипиодот... Славный, братец, у тебя голос... разжалобил ты меня...

— А Галактионовна, братчик, соврала насчет сметаны-то: не валялся!.. Нет, совсем не валялся! — говорил дорогой о. Андроник, который со мной обращался уже на «ты».

— А я, отец Андроник, сконфузил ее недавно, — вмешался Асклипиодот, забегая вперед.

— Расскажи, братчик...

— Видите ли, отец Андроник... Хорошо!.. Как я услыхал, что она вас в стихах описала, пошел к ней. Хорошо! Так и так, все ей объяснил, как она нехорошо поступает, а потом и

говорю: ты, Галактионовна, того гляди, помрешь, а кто тебя отпевать будет? «Отец Егор». — Хорошо, говорю, а если, говорю, отец Георгий уехал с требой, или захворал, или, говорю, не его неделя, кто, говорю, тебя отпевать будет? Хорошо. А Галактионовна мне: «Кто-нибудь отпоет, ведь во мне не песья, а христианская душа; ты же, говорит, с Андроником будешь отпевать...» Хорошо, говорю, мы тебя будем с отцом Андроником отпевать, только с вершка... Очень она сконфузилась от моих слов, отец Андроник.

— Отлично, братчик, умница!.. С вершка отпевать?! О, ха! ха! Кто это тебя научил, Асклипиодот?

— Сам придумал... от собственного чрева! Хе-хе!..

Мы посмеялись и разошлись; вечером, когда мы лежали уже, в своих постелях, Мухоедов проговорил в темноте:

— Ну что, каков самородок?

— Отличный человек.

— Это еще что, он это еще только начал, — задумчиво говорил Мухоедов, — он тебе еще не успел ничего рассказать о производитель-

ных артелях, о ремесленных школах, а главное — он не сказал тебе, какую мы мину под «сестер» подвели... Вот так штуку придумал Гаврило! Андроник понравился тебе? Я его очень люблю, не чета этому прилизанному иезуиту Егору... А как пел Асклипиодот? А?

В эту минуту в нашей улице послышалось страшное пение: кто-то так затянул «вечная память», что на пять кварталов было слышно.

— Это Асклипиодот отпевает Галактионовну, — равнодушно проговорил Мухоедов, закутываясь в свою сермяжку. — Когда выпьют с Андроником, непременно устроят что-нибудь. Это они ей за стихи отплачивают.

Глава 4

В Петербурге можно жить несколько лет с кем-нибудь на одной лестнице и не знать своих соседей даже в лицо, но в провинции, в каком-нибудь Пеньковском заводе, в неделю знаешь всех не только в лицо, а, nolens volens [137], совершенно незаметно узнаешь всю подноготную, решительно все, что только можно знать, даже немного более того, потому что вообще засидевшийся в провинции русский человек чувствует непреодолимую

слабость к красному словцу, особенно когда дело касается своего ближнего.

Так называемых тайн для провинции не существует, здесь все известно, все живут на виду и потихоньку злословят друг друга; прожив в Пеньковке какую-нибудь неделю, я вошел в этот круг всеведения и знал не только прошлое и настоящее моих новых знакомых, но отчасти даже их будущее. Например, встанешь рано утром, чтобы успеть до жару кое-что разобрать из собранных материалов, и вперед знаешь, что сейчас же услышишь бесконечную ругань Фатевны сначала на мужа (старик в пестрядевой рубахе, который вывозил навоз, оказался мужем Фатевны), затем с Галактионовной, а потом начинается бесконечная расправа с Фешкой и Глашкой; после этого Фатевна отправляется на рынок, где она торговала мукой, солью, крупами, овсом, сбруей, мылом и дегтем. Фатевна была тем, что в Пеньковке называют «шило-баба», и обладала действительно замечательным проворством, неутомимостью и энергией; кроме своей торговлишки, она занималась покупкой лошадей, собственноручно их объезжала,

а затем сбывала с рук самыми разнообразными способами: продавала, меняла, пускала на заводскую поденщину и даже брала подряды на извоз. Не успеешь оглянуться, а у Фатевны опять новая лошадь, и она едет на ней с шиком завзятого наездника, который умеет показать товар лицом. Муж Фатевны находился в полнейшем загоне, постоянно вывозил навоз, точно у Фатевны были авгиевы стойла [138], и жил в какой-то конурке на заднем дворе, рядом с цепной собакой, такой же злой, как сама хозяйка.

После того как Фатевна удалялась на рынок, на сцене появлялась Галактионовна; она скромно садилась на крылечко своего флигелька и ковыряла какую-нибудь работишку до обеда, перебрасываясь острым словечком с Фешкой и Глашкой, которые, после ухода мамыньки, ходили на головах. Чем жила Галактионовна — трудно сказать; но она жила в своей собственной избушке, и ей оставалось заработать на хлеб, чего она достигала при помощи швейной машины, стучавшей в ее избушке по вечерам; если не было работы, Галактионовна посвящала свои досуги поэзии,

и в ее стихах из года в год проходили события и лица Пеньковского завода. Когда-то, вероятно очень давно, отец Галактионовны служил управителем на одном из заводов Кайгородова, затем он умер, и Галактионовна осталась христовой невестой отчасти по своему безобразию, отчасти по бесчисленным физическим немощам, которые ее одолевали; дом Фатевны принадлежал Галактионовне, последняя продала его Фатевне с условием жить ей, Галактионовне, в своем флигельке по смерть. Фатевна, вероятно, рассчитывала на скорую смерть Галактионовны, принимая во внимание ее немощи, но последняя продолжала жить год за годом и, кажется, совсем не думала умирать: это обстоятельство вызывало самые горячие сцены, причем противные стороны высказывались вполне откровенно.

— Пропасти на тебя нет, моль этакая! Ведь ты моль... моль!.. — выступая фертом пред Галактионовной, кричала Фатевна. — Чужой век заживаешь... На том свете тебя давно с фонарем ищут!

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — огрызалась Галактионовна, закрывая

по обыкновению рот рукой, что она делала в тех видах, чтобы не показывать единственного гнилого зуба, отшельником торчавшего в ее верхней челюсти, — бог даст, тебя еще похороню. Лихое споро, не избудешь скоро; нас с Гаврилой Степанычем еще в ступе не утолчешь... Скрипучее-то дерево два века живет!

— Не скули! — отрезывала Фатевна.

Когда не с кем было спорить и ссориться, Галактионовна любила думать вслух: в эти моменты она действительно сильно походила на скрипучее дерево.

— Ей ладно, зазнаваться-то, — говорила Галактионовна каким-то совершенно особенным тоном, точно ручеек журчит: она в разговорах Галактионовны означало Фатевну: — Она купит по осени, как снег выпадет, возов пятьдесят муки по тридцать пять копеек за пуд, а весной да летом продает пуд по семьдесят копеек[139].

В каждом возу будет пудов двадцать пять, всего выходит тысячу двести пятьдесят пудов; с каждого пуда она наживет тридцать пять копеек, а со всей муки пятьсот рубликов и положит в карман... Овса тысячу пудов ку-

пит по тридцати копеек, тоже рубль на рубль возьмет, глядишь, опять триста рубликов в карман. Ох, хо-хо!.. А вот наша сестра и во сне таких денег не видывала... Купишь пудик мучки-то, да и перебиваешься с ним, как церковная мышь!.. Только, по-моему, она неверно поступает, что такие деньги с нас дерет...

— Не пойдут ей эти деньги впрок. Погляди-ко, как рабочие-то в огненной работе маются, чтобы ей на хлебе-то переплачивать... Вот хоть взять ее девис: за материны грехи бог счастья-то и не посылает, женихов-то мы еще не видывали, а девисы на возрасте, — у них что на уме? Когда мущина спит — они к нему в комнату норовят зайти... Тьфу!.. Ведь девису-то, как муку, не завяжешь в мешок да не вывезешь на базар продавать: купите, мол, дешево отдам. За девисой-то, ой, какие глаза надо, все равно как за водой: прорвало плотину и кончено...

«Девисы» Фатевны представляли замечательное явление в своем роде: насколько сама Фатевна служила воплощением энергии и «разрывалась по всем частям», как выражалась о ней Галактионовна, настолько ее «де-

висы» жили исключительно растительной жизнью и специально занимались «нагуливанием жира». Фешка имела поразительное сходство и по образу жизни, и по привычкам, и по характеру с телкой, откармливаемой на убой; Глашка тоже находилась под гнетом инерции, но иногда на нее находили минуты просветления, и она начинала «жировать», то есть лежит, например, по целым часам на солнце, как разваренная рыба, а потом вскочит, опрометью бросится в комнату или на двор, затеет отчаянную возню с Фешкой, или визгливым голосом затянет удалую песню. Явится ночью в комнату, когда в ней спят «мущины», устроит купанье в пруду прямо под нашими окнами, — все это Глашке было нипочем; Мухоедов был не прочь подурачиться, когда Глашка была в ударе, и тогда весь дом оглашался отчаянными взвизгиваньями Глашки, полновесными ударами и самыми откровенными шутками. Мухоедов дурачился, как школьник, и в простоте своей души даже не подозревал, что это взвизгиванье, полновесные удары и «лошадиные нежности» могли привести к чему-нибудь серьез-

ному, хотя Глашка после такой игры подолгу отлеживалась где-нибудь на холодке и изнашивала большие синяки.

Тема о «девисах» принадлежала к числу бесконечных, и Галактионовна целые часы могла говорить на нее, только другая тема, предметом которой была сама Галактионовна, лежала еще ближе к ее сердцу. — Схватило меня как-то раз сердцем, — рассуждает она вслух, — послала за доктуром. Приехал доктур, увидал у меня швейную машину и говорит: «Это твоя смерть стоит...» А я ему: «Нет, господин доктур, это мой хлеб, только машиной и кормлюсь...» — «Умрешь», — говорит. «А бог-то?» — говорю. Рассмеялся доктур и уехал, а я третий год на машине работаю после того и живехонька...

Галактионовна долго смеется незлобивым детским смехом, крестит рот и зевает.

— Прошлой осенью вздумали мы с Фатевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника божия, она по обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, говорит Фатевна, живой ногой отхватаем полтораста верст». Пошли. Только отошли верст двадцать, и сде-

лайся оттепель: ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем, а доктур строго-настрого заказал пуще всего ноги беречь: «Простудишь, говорит, сейчас попа зови и гроб заказывай». Девять дён брели мы с Фатевной до Верхотурья: и плутали по малым дорогам, и ночевать нас в избу мужики не пускали, и волки-то в стороне выли, и голодом-то двое суток мучались... Идем это, я и говорю Фатевне: «Точно мы с тобой в пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На десятый день пришли в Верхотурье, отслужили угоднику молебень, выняли просвиру за здравие да в обратный путь; опять семь дён шли, только тут ударил на нас холод, я и смеюсь Фатевне: «Это за твои грехи угодник нас казнит холодом...» Она меня всю дорогу за это костерила... И вернулись мы здравы и невредимы, я нарочно пошла к доктуру, принесла ему просвирку заздравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал да головой покачал. «Ты, говорит, надо полагать, бессмертная...»

Мухоедов являлся из завода только к обе-

ду, а после обеда уходил еще часа на три, так что свободным от занятий он был только вечером; а только сядем мы за самовар, смотришь, кто-нибудь в двери, чаще других приходили о. Андроник и Асклипиодот. Я с первого раза полюбил оригинального попа, громкая речь которого всегда была приправлена крупной солью и таким необыкновенно заливистым смехом, начинавшимся с высочайшего тенора, что невольно на душе делалось светлее, и мы каждый раз от души хохотали вместе с о. Андроником. От природы это был очень сильный и, главное, вполне оригинальный ум; по-своему о. Андроник был хитер, скуп, добр и простодушен — как в истинно русском человеке, достоинства и недостатки в нем представляли самую пеструю картину, но он и не выставлял напоказ первых и не прятал последних, а всегда был нараспашку.

— Не-ет, братчик, я люблю деньгу, — добродушно говорил он. — Я не попущусь своему, мне подай мое. Вот приехал к нам поп Егор и давай новые порядки заводить: «Не хочу осеннего собирать...»[140] Не хочешь, так как хочешь, а я буду собирать, потому мне от-

дай мое. Я приду к бабе и вижу, что она мнется, не хочет попу сметаны или масла давать, а я ей сейчас: «А ведь ты, такая-сякая, помолодела ровно... Вон какая гладкая стала». Баба и расступится, лишнюю ложку сметаны и отвалит. Ха-ха-ха!.. Если баба на это не сдается, я ей сейчас: «Ой, баба, баба, умрешь, все останется, а кто тебя отпевать будет?» Пред этим, братчик, ни одна баба устоять не может, хоть самое ее в бурак клади. Егорка, тот осеннее не любит собирать, ему подавай деньгами, — деньги тоже любит, а брать не умеет. Придумал цену набавлять за требы, а мужики на дыбы, артачатся.

Отец Андроник был вдов и жил как старый холостяк, окружив себя всевозможными животными: индейками, курами, овцами, собаками, лошадьми; за хозяйством у него присматривала какая-то таинственная дальняя родственница, довольно молодая бабенка Евгеша, ходившая в темных платьях и в темных платочках, как монастырская послушница. Когда кто-нибудь бывал у о. Андроника, Евгеша не показывалась, а сам о. Андроник не любил говорить о ней; молва гласила, что эта та-

инственная Евгеша сильно зашибала водкой и ходила вечно в синяках, происхождение которых объясняли различно.

Если кто-нибудь, с намерением уязвить о. Андроника, заводил речь о Евгеше, он сильно хмурился, а потом с азартом возражал:

— Она у меня за козлухами ходит... Сам, что ли, я козлух доить буду? А куриц кто будет щупать?

Жил о. Андроник очень плотно в своем собственном домике, выстроенном в купеческом вкусе; три небольших комнатки зимой и летом были натоплены, как в бане, и сам хозяин обыкновенно разгуливал по дому и по двору в одном жилете, что представляло оригинальную картину. Мебель в комнатках о. Андроника была сборная: на окнах стояли какие-то полузасохшие «петухи» герани и красный перец, который особенно любят отставные солдаты, потому что и дешево и сердито; гостей угощал о. Андроник одной водкой и чаем, весело рассказывал пикантные истории и хохотал над ними своим заливистым хохотом больше всех. В минуту одушевления он снимал со стены довольно ветхую гитару и не

без чувства изображал какой-то «Плач Наполеона» и даже польку трамблям. Вся эта видимая бедность обстановки о. Андроника и скромные привычки вполне выкупались блаженной мыслью о некоторой крупной сумме, лежавшей частью в каком-то банке, а частью у какого-то знакомого купца, — в ссудо-сберегательное товарищество Гаврилы Степаныча о. Андроник не верил ни на волос и ни под каким видом не соглашался отдать даже нескольких рублей на сохранение товарищества.

— Не-ет, братчик, — говорил он, — и мы не в угол рожей-то: отдай им денежки-то, а потом и заглядывай, как лиса в кувшин...

Асклипиодот был полнейшей противоположностью о. Андроника во всех отношениях и, вероятно, в силу такой противоположности своего ума и характера был привязан к о. Андронику, как собака, и всюду ходил за ним по следам; это была широкая русская натура, одаренная известной поэтической складкой, что, взятое вместе с самой широчайшей бесхарактерностью и непреодолимой страстью к водке, сделало Асклипиодота неудачником и

вечным дьячком. По своему уму и особенно по своему богатейшему голосу он смело мог рассчитывать на дьяконское место, но это заветное желание оказалось решительно неосуществимым, потому что нет-нет Асклипиодот в чем-нибудь и попадет: подерется в пьяном виде, сгрубит попу, поколотит жену — словом, устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, что начальство мотает себе на ус, а Асклипиодот сидит себе да сидит в дьячках. Жил он в маленькой, сильно покосившейся набок избушке, у которой одно окно было закрыто ставнем, а половина другого была заклеена частью синей сахарной бумагой, частью пузырем; издали эта избушка сильно походила на физиономию пьяницы, которую с жестокого похмелья повело набок, один глаз залеплен пластырем, другой сильно подбит. В этой избушке было «полное отсутствие всякого присутствия», — точно кто переехал с квартиры, да так все и осталось: в одном углу позабыли трехногий стул, в другом скелет дивана, на стене несколько разорванных картин — правая половина какого-то генерала, половина архирея и т. д. Мы уже сказали, что

Асклипиодот был очень «слаб к вину», с двух рюмок он уже начинал пьянеть, раскисал и к каждому слову начинал прибавлять «хорошо»; более сильная степень опьянения выражалась в нем непременным желанием кого-нибудь «сконфузить», причем он обнаруживал необыкновенную изобретательность. Раз к нему ночью хотели забраться воры. Асклипиодот был навеселе и, отворив форточку, объяснил «злоумышленникам», что он и сам ничего не может найти у себя, а что они лучше сделают, если пойдут к попу Андронику, у которого денег куры не клюют: воры действительно отправились к о. Андронику, а утром Асклипиодот пришел проведать своего друга и пространно объяснил, как он «сконфузил татей». Вообще о. Андроник и Асклипиодот были неразлучные друзья и являлись всегда вместе; самые интересные сцены происходили тогда, когда являлась Галактионовна, которая в совершенстве владела искусством поджаривать этих друзей на медленном огне. Обыкновенно она являлась к нам только в те моменты, когда у ней в запасе была какая-нибудь каверза против Андроника или Асклипиодот

пиодота; завидев скромно входившую в комнату Галактионовну, Андроник обыкновенно ворчал:

— Опять несет эту ворону: видно, завтра ненастье будет. Вороны всегда к ненастью каркают.

Галактионовна делала вид, что ничего не слыхала, садится где-нибудь в уголок, закрывает рот рукой и каким-нибудь самым невинным вопросом или замечанием открывала свою убийственную атаку; Мухоедов по опыту знает, что Галактионовна пришла неспроста, и всеми силами старается навести ее на суть дела.

— У вас, отец Андроник, говорят, лошадка-то в шарфе ходит? — начинала Галактионовна, улыбаясь своей детской улыбкой в руку.

— А ты, скрипка, заведи свою да хоть штаны на нее надевай, — пробует огрызаться о. Андроник, выкатывая глаза.

— Нет, я так спросила: значит, чтобы не простудилась? А я как-то иду по улице, ваш работник и едет на вашей лошадке; смотрю, точно совсем другая лошадь стала... Какие-то

рабочие идут мимо и говорят: «Вот попово-то прясло едет, ему лошадь-то заместо куриного седала отвечает, цыплят на нее садит... Медведь, говорят, давно прошение об ней губернатору подал».

— Хорошо... Ты говоришь, что лошадь отца Андроника в шарфе ходит, — вступался Асклипиодот с искренним желанием пренепременно сконфузить ядовитую бабу. — Хорошо... А в писании что сказано: блажен, иже и скоты милует...

— Отлично, братчик! — одобрял о. Андроник своего заступника. — Что, взяла, скрипка... а?..

Галактионовна хихикает в руку, а потом опять начнет своим тихим голосом:

— Какой народ нечистосердечной в Пеньковке живет... На паске, рассказывают, что отец Андроник приехал с Асклипиодотом к Фильке с крестом...

— К какому Фильке?

— К лесообъездчику Фильке... Ну, которого Гаврило Степаныч на прошлой неделе с бревном поймал... Вот он самый. У Асклипиодота в одном кармане была бутылка с водкой, а в

другом бутылка со святой водой; когда стали ко кресту-то подходить, Асклипиодот и ошибился в бутылках, а отец Андроник кропилкой в водку да водкой и давай кропить.

— Хорошо... А ты была у меня в кармане? — спрашивал Асклипиодот, задетый за живое.

— Я-то не была, а Филька сказывает, что вместо святой воды отец Андроник водкой его кропил.

— Может быть, а врет! — отрезывал о. Андроник.

Галактионовна не возражает на это львиное рыкание, а только рассыплется мелким, как бисер, смехом, с каким-то детским всхлипываньем.

Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы хины зубы болят или что-нибудь в этом роде; однажды о. Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай; о. Андроник и Асклипиодот были слегка навеселе, на первом взводе; Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя

уронила фразу:

— Фатевна очень умной женщиной оказала себя...

— Что-то не слыхать, — иронизировал о. Андроник.

— А я так своими глазами видела...

— Н-но-о?

— Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?

— Продал, а тебе какое горе?

— Да так, к слову пришлось... Она вам пятьдесят рублей заплатила за лошадку-то?

— Ну, положим, что пятьдесят.

— Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу доктур к нам на двор идет, а больных никого нет... Вышла я на крылечко, увидал меня: «Ты, говорит, все еще жива?» А я ему: «Вашими, мол, молитвами, как шестами, подпираемся; скрипим помаленьку...» — «Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну, а доктур давай у ней вашу лошадку торговать, понравилась, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по Пеньковке гоняет. То-се, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктуру, под брюхо пролезла раз

пять, значит, смирная совсем лошадь, а потом вскочила на лошадь верхом да без седла и давай по двору гонять, как цыган. У доктура так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться: доктур сто рубликов и заплатил Фатевне.

— Вре-ешь?!

— Чего мне врать: на свои глаза свидетелей не надо. При мне доктур вынял толстый-претолстый бумажник и отдал Фатевне четыре четвертных бумажки. После пришел доктуров кучер, увел лошадь, а доктурова жена захотела попробовать лошадку... Сели оба доктура в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону, через канаву — и понесла, и понесла. Оглобли изломала, дрожки изломала, а доктура лежат в канаве и кричат караул.

— Ах она, шельма?!.. — рычал о. Андроник.

— Да еще что, отец Андроник, — продолжала Галактионовна, — после сама же Фатевна и смеется: «Как, говорит, просты, ах, как просты образованные-то люди... Только, говорит, жалованье они действительно большое получают, а настоящего ума в них нет: необразо-

ванной, говорит, бабе выбросили пятьдесят рублей, а мне на голодные-то зубы и ладно. Особенно, говорит, жаль мне попа Андроника, деньги, говорит, он любит, а лошадь не умеет продать!..»

— Ах она, шельма! — кричал о. Андроник, бегая по комнате. — Да ведь это дневной грабеж... Пятьдесят рублей?! Ах, шельма... Ведь пятьдесят-то рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!

— Простота-то, говорят, хуже воровства, отец Андроник! — язвила Галактионовна.

Выходя от нас, о. Андроник во дворе встретился лицом к лицу с Фатевной; эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и ругани, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно:

— А ты, поп, не храпай... Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой.

— А, не храпай... не храпай! — горячился о. Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. — Не храпай... Я бы подвя-

зал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?

— Грешны, да божьи, — бойко огрызалась Фатевна; у ней так и чесался язык отчистить попа на все корки.

Асклипиодот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил подобру-поздорову спрятаться за широкую спину о. Андроника, Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне «ржали девисы», и друзьям ничего не оставалось, как только отступить в положении того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести.

Впрочем, к чести наших героев, нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с о. Андроником; это замечательное событие произошло на именинах Мухоедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувство-

вался и даже облобызал свою духовную дщерь и совсем дружелюбно проговорил ей:

— Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь... Нет, не сержусь!..

— И я, дева, не сержусь, — говорила Фатевна, закатывая глаза.

Под веселую руку о. Андроник называл Фатевну «братчиком», а она, в свою очередь, называла его «девой», впрочем, без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности.

На именинах Мухоедова собрались почти все заводские служащие, кроме Слава-богу, докторов и о. Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам; в числе гостей был Ястребок и «сестры». Гаврило Степаныч не был, потому что переехал уже на Половинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло, все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб, но, как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело, развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение о. Андроника с Фа-

тевной, приветствуемое общим одобрением. «Сестры» присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку; Асклипиодот, успевший порядком клюнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл «актрисой» и на которой с замечательным искусством откалывал «барыню» и «камаринского». Пение «сестер», пиликанье Асклипиодота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозможно передать словами; общее одушевление публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все: сельский учитель плясал с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и т. д. Асклипиодот усердствовал и показывал на своей «актрисе» чудеса искусства, такие пиччикато и стаккато, от которых даже сам о. Андроник только кряхтел, очевидно негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими вприсядку; когда посторонней публики поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна; она с неподражае-

мым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела о. Андроника в какое-то исступление, он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места:

— Чище, чище, чище!.. Чище, шельма! Чище, каналья!.. О-го-го!!..

Галактионовна принуждена была дернуть о. Андроника за рукав рясы, чтобы умерить его шумный восторг; когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота; он вообще плясал русскую отлично, а когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества

дочери и снова пустилась в пляс, но на этот раз ноги уже плохо, слушались ее, и она несколько раз теряла такт.

— Настоящая Иродиада[141], пляшущая пред Иродом, — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и о. Андроника.

— Хорошо... Фатевна пляшет отлично... Хорошо! — заявлял заплетавшимся языком Асклипиодот. — Хорошо... А я могу ее сконфузить!..

— Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня! — кричала Фатевна. — Ты посмотри на меня, дева, какая я женщина, ведь я, дева, как верба...

— Хорошо!.. могу сконфузить, — продолжал утверждать Асклипиодот.

Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился вприсядку; плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно: уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг.

— Сконфузил, братчик, совсем сконфу-

зил! — провозгласил о. Андроник. — Ну-ка, Фатевна, валяй колесом... О-ха-ха-ха!!..

На именинах Мухоедова я познакомился с «сестрами», и в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал «заглянуть в его избушку»; мне очень хотелось посмотреть, как жили «сестры» у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны; это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, с зелеными ставнями, крепкими воротами и темным громадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины — переднюю и заднюю; в передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином, в задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет тридцати пяти, среднего роста, с бойким плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой; это был разбитной заводский человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью

старшего брата: высокий, худой, с угрюмым лицом, он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты; у Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как-то особенно уютно, каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее исконное русское довольство, как, быть может, жили богатые мужики еще при Аскольде и Дире, при Гостомысле, за великими московскими князьями: количество потребностей оставалось то же самое, как ими владел и самый бедный мужик, вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты — «сестры» ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винта все подавляло высоким достоинством своего качества; любители заморского удивляются чистоте немецких домиков, но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников — не

знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, а не удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда, но зато уж если сделано крыльцо, так это именно крыльцо, которое простоит сто лет, и ни одна половица не покосится; если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что только можно выкрасить: и красиво с известной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом: глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливые движения, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека, она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя

светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана: налево от дверей широкая русская печь, над самыми дверями навешаны широкие полати, около стен широкие лавки, в переднем углу небольшой стол, и только. Стены были выструганы гладко, и, вероятно, их часто мыли с песком; лавки и полати были выкрашены синей краской, пол желтой охрой; в переднем углу висело несколько потемневших образов и медный складень с засохшей вербой за ним.

— Милости просим, гости дорогие, — говорил Прохор Пантелеич, усаживая за стол.

— А тебе, Прохор Пантелеич, стыдно жить в такой избе, — говорил Мухоедов, — ведь денег у тебя куры не клюют... Вот взял да и построил двухэтажный каменный дом, как в городах у купцов.

— В городах-то, Капинет Петрович, пословица говорится, толсто звонят, да тонко живут, — отвечал старик с умной улыбкой, — где нам за ними гоняться.

— Куда ты с деньгами-то?

— С деньгами... Деньгам место найдется.

Кому их надо, так не брезгуют и моей избушкой; из больших-то домов приходят тоже и в мою избушку.

Две молодых бабенки, одетых совершенно одинаково, как две сестры, в простенькие ситцевые сарафаны и в розовые платочки, подали самовар, чайную посуду и кренделей; они держали себя чрезвычайно скромно и, подходя к столу, опускали глаза. Они искоса взглядывали на свекра и, как собаки, ловили каждое его движение; заметно было, что Прохор Пантелеич держал снох в ежовых рукавицах и не давал им воли. Филька и Константин скоро пришли в избу и почтительно поместились на дальнем конце лавки; Прохор Пантелеич не предложил им ни чаю, ни водки. Не успели мы выпить по стакану, как пришел Авдей Михайлыч, снял свои кожаные перчатки, поставил в угол правило, помолился и, поздоровавшись со всеми, присел к нашему столу.

— Ну что, Авдей Михайлыч, как дела? — спрашивал Мухоедов.

— Что, Капинет Петрович, — заговорил Авдей Михайлыч, — наши дела, как сажа бела...

Вот Гаврило Степаныч обезживотил нас; а только напрасно он нас обижает.

— Чем это?

— А заведенья отнял...

— Да ведь это не его дело, а дело общества.

— Опчество... Какое у нас опчество! — угрюмо заговорил Авдей Михайлыч. — Наше опчество, одно слово, бараны, и конец... Своей пользы ежели не понимают.

— Мне одно невдомек, — заговорил Прохор Пантелеич, — какая корысть Гавриле Степанычу?.. Отнял у нас кабаки и передал Чубарову. Ежели бы он за себя их перевел...

— Вот то-то и есть, — объяснял Мухоедов, — ежели бы он их у вас отнял, так не отдал бы другому.

— Ну, это ты пустое говоришь! — отрезал Авдей Михайлыч. — Ежели бы насчет благодарности... да разе мы бы постояли?.. Так ведь Гаврило-то Степаныч такую тебе благодарность задаст...

— У меня Коскентин в лесообъездчиках служил, — говорил Прохор Пантелеич, — а я его в кабак посадил... Вот он теперь на бобах и остался.

— А ты обратись к Гавриле Степанычу, он место Константину даст, — объяснял Мухоедов. — Лошадей у тебя до десяти есть, подряды будешь брать...

— Да это все так, Капинет Петрович, без хлеба, слава богу, еще не сиживали, только расскажите мне: Гавриле-то Степанычу какая корысть была кабаки у нас отнимать? Ведь мы ему не мешали...

— Народ ноне малодушен больно стал в Пеньковке, — проговорил Авдей Михайлыч, — прежде крепче жили... Заработки большие, едят сладко, чай этот пошел — вот народ и портится Посмотришь, молодые парнишки что делают: еще на рыле материно молоко не обсохло, а он водку хлещет... Или тоже вот наши заводские девки: больно много воли забрали, балуются, а котора послабее — и совсем потеряет себя.

Когда мы выходили от Прохора Пантелеича, во дворе какая-то молодая женщина с двумя детьми бросилась в ноги хозяину и громко запричитала:

— Батюшка... Прохор Пантелеич... второй день без хлеба ребятишки сидят!

— Ладно, ладно... дай проводить гостей-то, чего ревешь! — внушительно проговорил Прохор Пантелеич и равнодушно прибавил: — Степана Ватрушкина хозяйка... Третий день шляется, все лошадь продает, а мне куда с ней, с лошадью-то: возьми ее да и трави сено. Скотина, как пила, день и ночь пилит...

Мы вышли. Мухоедов молчал всю дорогу и, только когда мы подходили к дому, проговорил:

— Собственно говоря, «сестры» отличные мужики, если взять их самих по себе, безотносительно.

— Крепко живут.

— И в заводе свое дело тонко знает, любо смотреть, а вот поди ты, деньги губят... Уж, видно, так устроен русский человек, что каждый лишний рубль на какую-нибудь пакость подталкивает. Видел жену Ватрушкина? В ногах третий день бабенка валяется, чтобы за бесценок взяли у ней лошадь... Что будешь делать! Поломаются «сестры» и возьмут, да еще в благодетели запишутся... Это черт знает, что такое!.. Помнишь, я тебе про механику-то говорил, какую мы с Гаврилой под «се-

стер» подвели, — это и есть те кабаки, о которых сегодня говорили. Не бей мужика дубьем, а бей рублем... Доняли мы «сестриц»! Авдей-то Михайлыч как притворяется: ничего, слышь, не понимаю, а сам отлично знает, что Чубаров заплатил обществу за кабаки десять тысяч. Деньги, то есть половина на школу пойдет, а другая на недоимки... Ведь отличную штуку Гаврило придумал? Не удалось «сестрам» слопать десять тысяч, вот и сердятся. Раньше им общество кабаки сдавало за здорово живешь...

Глава 5

Мне пришлось за некоторыми объяснениями обратиться к самому Слава-богу, который принял меня очень вежливо, но, несмотря на самое искреннее желание быть мне полезным, ничего не мог мне объяснить по той простой причине, что сам ровно ничего не знал; сам по себе Слава-богу был совсем пустой немец, по фамилии Муфель; он в своем фатерлянде пропал бы, вероятно, с голоду, а в России, в которую явился, по собственному признанию, зная только одно русское слово «швин», в России этот нищий духом ухитрил-

ся ухватить большой кус, хотя и сделал это из-за какой-то широкой немецкой спины, женившись на какой-то дальней родственнице какого-то значительного немца. Сделавшись управителем Пеньковского завода, Муфель быстро освоился на новой почве и в совершенстве овладел целым лексиконом отборнейших российских ругательств, но говорить по-русски не мог выучиться и говорил: «кланяйтесь из менэ», «благодарим к вам», «я буду приходить по вас», «сигун» вместо чугун и т. д., словом, это была совсем старая история, известная всякому. Муфель представил меня своей жене, очень молодой белокурой даме; эта бесцветная немочка вечно страдала зубной болью, и мимо нее, как говорил Мухоедов, стоило только пройти мужчине, чтобы она на другой же день почувствовала себя беременной; почтенная и немного чопорная и опрятная, как кошка, старушка, которую я видел каждый день гулявшей по плотине, оказалась мамашей Муфеля. В уютном, отлично меблированном управительском доме мне пришлось встретиться с о. Егором и молодыми врачами; о. Егор держал себя совсем

comme il faut[142], скромно и с достоинством, и даже не без ловкости умел сказать несколько комплиментов дамам. Доктор и «докторица», фамилия которых была Торчиковы, произвели на меня неопределенное впечатление; говорили они только о серьезных материях и очень внимательно слушали один другого; доктор небольшого роста, сутуловатый и очень плотный господин, держал себя с меньшей развязностью, чем о. Егор, смущался своими руками и любил смотреть в угол, но в его некрасивом лице, с небольшими серыми, часто мигавшими глазками и каким-то вопросительно-встревоженным выражением просвечивало что-то хорошее и немного упрямое. Жена доктора, совсем маленькая и очень бойкая дама, с маленьким, правильным капризным лицом, держала себя неприступно и строго и, кажется, всего больше заботилась о том, чтобы сказать что-нибудь остроумное или по крайней мере умное; это новое явление нашей жизни мне понравилось меньше, чем сам доктор, особенно когда я мысленно сравнил с ней простую и симпатичную Александру Васильевну.

Муфель, большой скандалист и еще больший кутила, держал себя дома как добрый семьянин и самый радушный хозяин, который не знал, чем нас угостить; между прочим, он показал нам свою великолепную оранжерею, где росли даже ананасы, но главным образом он налег на вина и отличный обед, где каждое блюдо было некоторым образом chef-d'oevre'ом кулинарного искусства.

Взглядывая на эту взъерошенную, красную от выпитого пива фигуру Муфеля, одетого в охотничью куртку, цветной галстук, серые штаны и высокие охотничьи сапоги, я думал о Мухоедове, который никак не мог перелезть через этого ненавистного ему немца и отсиживался от него шесть лет в черном теле; чем больше пил Муфель, хвастовство и нахальство росло в нем, и он кончил тем, что велел привести трех своих маленьких сыновей, одетых тоже в серые куртки и короткие штаны, и, указывая на них, проговорил:

— Вот, шерт возьми, будущая Россия...

Отец Егор приласкал детей и не без ловкости уронил какой-то комплимент, относившийся к счастливым родителям «будущей

России»; мать Муфеля говорила по-русски лучше сына и за обедом, между прочим, сильно жаловалась на о. Андроника.

— Представьте себе, — говорила старушка, высоко поднимая свои седые брови, — я член Красного Креста, раз захожу с кружкой к этому ужасному попу... На крыльце меня встречает пьяный дьячок, вхожу в комнату, и представьте — этот Андроник сидит на диване в одном жилете и играет на гитаре. Мне сделалось дурно, и я плохо помню, как выбралась на улицу... Согласитесь, что это ужасно, ужасно!!..

— Подобные люди бросают тень на целое сословие, — немного вычурно заговорил о. Егор, ежась на своем месте и заглядывая в глаза жаловавшейся старушке. — По моему мнению, это зависит от недостатка образования, Амалия Карловна... В Германии, вероятно, вы не встретите таких священников? Да, печальное явление, очень печальное, но, можно надеяться, русское духовенство скоро совсем избавится от него.

— А мне, отец Егор, отец Андроник очень нравится, — отозвалась докторша, вскидывая

на нос pincenez. — В нем есть какая-то хорошая простота и чисто русское остроумие.

— Относительно простоты и остроумия отца Андроника я совершенно согласен с вами, — мягко соглашался о. Егор, наливая себе стакан воды. — Но согласитесь, известная специальность, вернее, профессия, налагает на каждого человека известные обязанности и приличия, тем более сан священника... Вот вы врач, а что бы вы сказали о другом враче-женщине, которая явилась бы к своему пациенту не в своем виде, что с отцом Андроником случается нередко. Я не осуждаю старика и знаю, что ему немного поздно ломать свою натуру, но все-таки согласитесь...

Когда мы вышли из-за стола, я спросил докторшу об участи раздавленного Ватрушкина; женщина-врач точно обрадовалась моему вопросу и с торопливой улыбкой проговорила:

— Ему лучше... Он скоро поправится.

— Неужели?

— О, да... — самоуверенно проговорила маленькая женщина. — Ампутация обошлась самым счастливым образом, и бедняк так бла-

годарил меня, даже руки мне целовал и все называл хорошей барышней.

— Значит, вы...

— Вы хотите сказать, как я решилась отнять ногу? — предупредила меня докторша, машинально поправляя одной рукой какую-то складку на своем изящном сером платье. — Моя специальность — хирургия, и я уже сделала несколько удачных операций... Мои пациенты единогласно подтверждают, что у меня легкая рука, — с улыбкой прибавила она.

Я внимательно посмотрел на маленькую женщину, почти девушку, на ее небольшие желтые руки, и в душе подивился ее смелости; мне на память пришел случай, когда однажды я должен был вынуть большую занозу из ноги одного шалуна, и как эта мудреная операция бросила меня в холодный пот, и я готов был бежать, чтобы избавиться только от своей трудной роли; докторша, кажется, угадала истинный ход моих мыслей и с прежней улыбкой проговорила:

— Ведь тут и мудреного ничего нет... Издали оно кажется гораздо страшнее, чем на са-

мом деле; а затем является привычка.

— Так она плох? — спрашивал Муфель доктора, провожая нас в переднюю.

— Да, очень плох.

— Никакой надежды?

— Надежда есть, но очень сомнительная, — уклончиво отвечал доктор, поворачивая в руках шляпу.

— Шаль, очэнь шаль... Какая хорош человек!..

— Это вы о Гавриле Степаныче? — вмешалась докторша и, получив утвердительный ответ, прибавила: — А по-моему, он поправится, в нем слишком много энергии... В такого сорта болезнях хороший характер прежде всего.

Гаврило Степаныч не был на именинах Мухоедова, потому что к этому времени уже переехал на Половинку; в одно из ближайших воскресений мы с Мухоедовым взяли лошадь у Фатевны и отправились проведать нашего друга. До Половинки было верст двадцать. Мы выехали рано утром, до «солновсхода»; накануне был небольшой дождь, и трава зеленела особенно ярко, точно она умы-

лась; когда солнце поднялось выше и начало подбирать росу, наша тюменская телега бойко катилась мимо красивых покосов, пестревших незавидными цветочками. Кой-где виднелись небольшие избушки, в которых жили рабочие во время страды; попалось несколько обугленных мест с остатками обгорелых пней и сучков; особенно хороши были березовые пролески, светлые, как транспарант, прохладные и шелестевшие каждым листочком. По небу весело бежали далекие облачка; солнце точно смеялось и все кругом топило своим животворящим светом, заставлявшим подниматься кверху каждую былинку; Мухоедов целую дорогу был необыкновенно весел: пел, рассказывал анекдоты, в лицах изображал Муфеля, «сестер», Фатевну — словом, дурачился, как школьник, убежавший из школы.

Наслаждение летним днем, солнечным светом омрачалось мыслью о бедном Гавриле Степаныче, которому, по словам доктора, оставалось недолго жить; среди этого моря зелени, волн тепла и света, ароматного запаха травы и цветов мысль о смерти являлась та-

ким же грубым диссонансом, как зимний снег; какое-то внутреннее человеческое чувство горячо протестовало против этого позорного уничтожения. Я ничего не говорил Мухоедову об опасном положении Гаврилы Степаныча, раз, потому что не хотел огорчать прежде времени этого доброго человека, а второе, — я боялся, что он не сумеет себя держать и выдаст себя и меня Гаврилу Степанычу головой; больные вообще обладают большей проницательностью, чем здоровые, и отлично умеют читать по физиономиям своих друзей.

— Кажется, тысячу лет прожил бы! — говорил Мухоедов, когда наша телега, миновав покосы, покатилась, как по длинному узкому коридору, среди смешанного леса из сосен, елей и берез, где нас обдало приятной прохладой и чудным смолистым запахом. — Право, много ли нужно человеку: вот этакий день — и счастлив, как птица. По моему мнению, нет другого животного, которое так умело бы пользоваться жизнью, как птица; это моя собственная философия, которая иногда утешает меня, если уж придется круто. Я стараюсь по-

ходить на птицу... Стряхнешь с себя все эти предрассудки, которыми опутывает нас жизнь, и, право, так делается весело, точно вчера родился и не видал еще ни одного паршивого немца...

В этих разговорах и самой беззаботной болтовне мы незаметно подъехали к Половинке, которая представляла из себя такую картину: на берегу небольшой речки, наполовину в лесу, стояла довольно просторная русская изба, и только, никакого другого жилья, даже не было служб, которые были заменены просто широким навесом, устроенным между четырьмя массивными елями; под навесом издали виднелась рыжая лошадь, лежавшая корова и коза, которые спасались в тени от наступавшего жара и овода. Половинка была когда-то рудником; какой-то предприниматель зарыл здесь довольно крупный капитал, а затем, разорившись, все бросил; остатками бывшего рудника служили изба, в которой теперь жил Гаврило Степаныч, да несколько полузаросших травой и березняком валов перемытого песку, обвалившихся и затянутых сочной осокой канав, да еще остатки небольшого

прудка и целый ряд глубоких шахт, походивших издали на могилы. Общий вид Половинки был очень хорош, хотя его главную прелесть и составлял лес, который со всех сторон, как рать великанов, окружал небольшое свободное пространство бывшего рудника и подступал все ближе и ближе к одинокой избе; главное достоинство этого леса заключалось в том, что это был не сплошной ельник, а смешанный лес, где развесистые березы, рябина и черемуха мешались с елями и соснами, приятно для глаза смягчая своей светлой веселой зеленью траурный характер хвойного леса.

Пред избой был разбит небольшой цветник, а за ним виднелось несколько гряд только что вскопанного огорода.

— Эй, хозяева, принимайте гостей! — громко кричал Мухоедов, привязывая лошадь под навесом, но из избы никто не откликался, и Мухоедов решил: — Спят, видно, наши господа... Эк их взяло! Нашли время.

Я с удовольствием взошел на широкое русское крыльцо, где было прохладно и солнце не резало глаз своим ослепительным блеском, а расстилавшаяся пред глазами картина

небольшой речки, оставленного рудника и густого леса казалась отсюда еще лучше; над крышей избушки перекликались какие-то безыменные птички, со стороны леса тянуло прохладной пахучей струей смолистого воздуха — словом, не вышел бы из этого мирного уголка, заброшенного в глубь сибирского леса. Дальше Половинки не было и дороги, а начиналась знаменитая сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана. Небольшой стол помещался в углу крыльца; на нем лежала позабытая женская работа — несколько полос полотна, катушка с нитками и маленькие стальные ножницы; вместо стульев служили небольшие скамьи, сделанные прямо из сырого дерева с неправильно обтесанными досками.

— Что, братику, хорошо здесь? — говорил Мухоедов, входя на крыльцо и утирая лицо платком.

— Да, недурно.

— Чистое, братику, состояние первых человеков. А где же, однако, мы хозяев добывать будем? Вот работишка Александры Васильевны, значит, они дома...

Мухоедов попробовал низенькую дверь, которая с крыльца вела в темные сени, — она оказалась незапертой; походив по сеням и несколько раз окликнув хозяев, Мухоедов вошел сначала в переднюю избу, а потом в заднюю — везде было пусто, и Мухоедов решил, что хозяева, вероятно, ушли в лес.

— Ну, это не совсем вежливо с их стороны, — ворчал мой приятель, появляясь на пороге с самоваром, — я до смерти хочу пить, живым манером запалю сию машину, а ты подожди. Если хочешь, ступай в избу: церемоний не полагается.

Мухоедов, захватив на пути железный ковш, отправился с самоваром на берег речки, где налил его водой, и действительно «запалил», так что из «машины» густой дым повалил густыми клубами; развалившись на траве, Мухоедов с ожесточением раздувал самовар, время от времени поворачивая ко мне раскрасневшееся счастливое лицо. Я тем временем успел рассмотреть переднюю избу, которая была убрана с поразительной чистотой и как-то особенно уютно, как это умеют делать только одни женские руки; эта изба бы-

ла гостиной и рабочим кабинетом, в ней стоял рояль и письменный стол, в углу устроено было несколько полок для книг; большая русская печь была замаскирована ситцевыми занавесками, а стены оклеены дешевенькими обоями с голубыми и розовыми цветочками по белому полю. Пол везде был сильно попорчен, даже было выбито несколько ям; небольшие окна, с только что вставленными новыми рамами, были отворены настежь, на подоконниках стояли горшки цветов, плющ маскировал почерневшие косяки, а снаружи, по натянутым веревочкам, зеленой стеной подымался молодой хмель, забираясь отдельными корнями под самую крышу. Задняя комната представляла из себя одной половиной кухню, другой спальню; обе комнатки выходили окнами прямо в лес, который рос в двух шагах.

— Вот где хорошо... — подумал я вслух.

— Идиллия, братику, сущая идиллия! — отозвался Мухоедов, не без торжества появляясь на крыльце с кипевшим самоваром; он поставил его на стол, а затем откуда-то из глубины кухни натащил чайной посуды, хлеба и

даже ухитрился слазить в какую-то яму за молоком. — Соловья баснями не кормят, а голод-то не тетка... Пока они там разгуливают, мы успеем заморить червячка.

Распахнув свою поддевку и сняв шляпу, Мухоедов с особенным торжеством приступил к церемонии чаепития; он болтал без умолку, пот крупными каплями катился по его высокому лбу, он его вытирал мимоходом рукавом поддевки и снова наклонял свое лицо над блюдечком, которое держал на пальцах по-купечески. Чем больше я узнавал Мухоедова, тем больше начинал любить эту простую, глубоко честную душу; но, живя в Пеньковке уже вторую неделю, я начинал убеждаться все сильней в том, что Мухоедов был совсем бесхарактерный человек в некоторых отношениях, особенно если вблизи не было около него какой-нибудь сильной руки, которая время от времени поддерживала бы его и не позволяла зарываться. Такие люди незаменимы, как кабинетные ученые, но в практической жизни они безвозвратно тонут в волнах житейского моря, если счастливая случайность не привяжет их к какому-нибудь хо-

рошему делу или хорошему человеку; по отношению к Мухоедову во мне боролись два противоположных чувства — я любил его и по воспоминаниям молодости, и как простую честную душу, а с другой стороны, мне делалось больно и обидно за него, когда я раздумывал на тему о его характере. И теперь, глядя на его счастливое молодое лицо, я находился под влиянием этого двойного чувства, мне хотелось высказать ему мучившие меня сомнения, и вместе с тем я совсем не желал портить его счастливого «птичьего» настроения.

— А вот и наши Филемон и Бавкида бредут [143], — заговорил Мухоедов, когда на опушке леса показалась сначала стройная фигура Александры Васильевны, а за ней длинная, слегка сгорбленная «остеология» Гаврилы Степаныча, как его называл Мухоедов; издали он сильно походил на журавля и как-то забавно шагал по густой траве, вытягивая вперед длинную шею и высоко поднимая ноги, точно он шел по воде. — А мы тут без вас чайком балуемся, — заявлял Мухоедов, здороваясь с Александрой Васильевной. — Вы, голуб-

чик, совсем поправились здесь, вон и румянец, и цвет лица в некотором роде... Хе-хе!..

— А как вы находите Гаврилу Степаныча? — обратилась ко мне Александра Васильевна. — Не правда ли, ведь он заметно поправляется... на глазах.

— Ну, Саша, уж и заметно, — с улыбкой протестовал Гаврило Степаныч, опускаясь с заметным усилием на скамью. — Конечно, я чувствую себя бодрее и к осени отлично поправлюсь, но нельзя же вдруг, разом...

— Все-таки и доктор тоже нашел тебя лучше, когда был в последний раз.

— Доктор?.. Ах да, доктор; доктор — очень хороший человек, очень... — Гаврило Степаныч не договорил и страшно закашлял; на шее и на лбу выступили толстые жилы, лицо покрылось яркой краской. — Я ведь живуч... только вот не могу еще долго ходить по лесу, утомляюсь скоро и голова кружится от чистого воздуха... не могу к воздуху-то привыкнуть.

— Тебе только не следует волноваться, — говорила Александра Васильевна, снимая шляпу и поправляя спутавшиеся на лбу пряди белокурых, мягких, как шелк, волос. — Не

будешь волноваться и поправишься...

— Да, да, именно так: нужно жить, Гаврило, как птицы живут, — подтвердил Мухоедов и довольно подробно принялся развивать свою оригинальную философию равновесия элементов. — Я давно тебе это твержу: живи, яко птица, и кончено!..

— Милый человек, советы гораздо лучше давать, чем исполнить их, — в раздумье проговорил Гаврило Степаныч. — Вон Слава-богу советовал Ватрушкину сделать усилие, тоже недурно сказано.

— Ах, остеология, остеология! С кем ты сравнил меня? — возмущался Мухоедов, наливая всем стаканы. — А тебе, остеология, налить стаканчик?

— Нет, спасибо... доктор посадил меня на молочко.

— А ты его не слушай: за компанию жид удавился!

Мы отлично провели этот день, ходили в лес, несколько раз принимались пить чай, а вечером, когда солнце стояло багровым шаром над самым лесом, старик-караульщик, который один жил на Половинке в качестве

прислуги, заменяя кучера, горничную и повара, развел на берегу речки громадный костер; мы долго сидели около огня, болтая о разных разностях и любуясь душистой летней ночью, которая в лесу была особенно хороша. Мириады звезд фосфорическими искрами усеяли голубое небо; лес молчал, от деревьев тянулись по траве длинные тени; где-то глухо и печально куковала кукушка.

— Вы не боитесь здесь жить? — спрашивал я Александру Васильевну, кутавшуюся в теплую шаль.

— Нет... Мы ведь не одни: с нами живет Евстигней; мы даже ничего не затворяем здесь.

— Да ваш Евстигней спит, как сурок, — вмешался Мухоедов. — Его с головой завяжи в мешок, он и того не услышит.

— А вот и нет, Капинет Петрович, — отозвался Евстигней, очень ветхий старик, с каким-то восковым, точно выцветшим лицом. — Я в карауле на фабрике тридцать пять лет выслужил, волоса не прокараулил...

— А ты расскажи лучше, как ты самовар приказчику ставил? — заговорил Мухоедов.

— Чего самовар? Разве его мудрено настаи-

вать...

— Нет, ты по порядку-то расскажи, как дело было.

Евстигней оправил небольшую бородку клином и заговорил неопределенным, тоже как будто выцветшим голосом, точно это говорил не он, а кто-нибудь другой, спрятавшийся за его спиной:

— Это было годов с сорок, когда мы за барином жили. Меня определили на рудник; приехал приказчик и заставил меня самовар наставить... А тогда этого заведенья, почитай, совсем не было, чтобы самовары пить. Теперь в Пеньковке много самоваров, а тогда и званья не было. Я ходил-ходил около самовару-то, и не знаю, что с ним сделать, а ставить надо, потому приказчик придет с руднику, спросит. Открыл крышку, вижу — в одном месте вода, в другом уголь, сейчас долил и углей свежих прибавил. Сам сел и караулю, а как приказчик пришел с рудника, я и подал самовар. Только приказчик заварил чай, налил стакан, а как попробовал, так и выплюнул... Сейчас за мной: «Сказывай, чего наклал в самовар?» Испужался я до смерти, а все-таки го-

ворю, что ничего не клал. «Врешь, кричит приказчик, ты, говорит, меня отравить хочешь... Давай, пей сам!» Посадил меня за стол, налил мне стакан и заставил его весь выпить; не поглянулся мне этот чай его, а делать нечего, пью, потому не своя воля. «Ну, что, говорит приказчик, скусно?» — «Скусно», — говорю. «А зачем, говорит, вода в самоваре соленая?» — «Я, говорю, посолил, потому хотел угодить вам...» Смотрел-смотрел на самовар, как он кипит, а сам думаю: «Надо посолить; пожалуй, приказчик ругать будет, если не посолю». Ну и посолил, потому у нас бабы каждое варево солят.

Старик заключил свой рассказ самой добродушной улыбкой и, поплевав на руки, бросил несколько полен в огонь; мы посмеялись над его рассказом и отправились в комнаты, потому что падала роса и Гаврилу Степанычу было вредно оставаться на мокрой траве. Александра Васильевна сыграла несколько любимых пьес на рояле, но Гаврило Степаныч слушал их, печально опустив голову, потому что доктор строго-настрого запретил ему петь; меня удивило, что Гаврило Степа-

ныч не заводил совсем речи ни о «сестрах», ни о ссудо-сберегательном товариществе, но это объяснилось опять запрещением доктора.

— А вы, право, погостили бы у нас? — говорил мне Гаврило Степаныч, когда мы прощались вечером. — Мухоедов пусть едет, а вам в Пеньковке или здесь просматривать бумаги все равно... Право, оставайтесь? Мы вам отдадим переднюю избу, и живите себе: Епинет Петрович будет навещать нас, и заживем отлично. Мы с Сашей люди простые, не помешаем вам.

— В самом деле оставайся, какого тебе рожна делать в Пеньковке?! — уговаривал меня Мухоедов, перебрасываясь с Александрой Васильевной каким-то телеграфическим знаком. — Я ведь завтра рано укачу отсюда, потому к шести часам утра нужно быть в заводе, а ты спи себе, как младенец, я и бумаги тебе все вышлю, считайте здесь с Гаврилой свою статистику.

Когда мы остались одни, Мухоедов, раздеваясь, говорил мне:

— Нет, ты в самом деле оставайся здесь, спасибо скажешь. Малина — не житье, да и

Гавриле веселее, а то он с одной скуки помереть может; человек привык работать за троих, а тут и думать ничего не смей, занимайся обменом веществ. Ты его раскопай-ко, Гаврилу-то, он ведь хоть сейчас в министры, и все тебе как на ладони покажет; только здоровьишко его подлое совсем, а то рубаха-парень. Мне давеча и Александра Васильевна шепнула, чтобы я уговаривал тебя; тебе ведь все равно, а Гавриле веселее, когда живой человек под боком.

Рано утром, когда я спал, Мухоедов уехал в Пеньковку один; я проснулся очень поздно и долго не мог сообразить, где я лежу. Солнечные лучи яркими пятнами играли на задней стене; окна были открыты; легкий ветерок врывался в них, шелестел в листьях плюща и доносил до меня веселый говор леса, в котором время от времени раздавались удары топора; я оделся и вышел на крыльцо, где уже кипел на столе самовар.

— Десять часов утра, — послышался мне голос Александры Васильевны, которая скоро показалась из кухни с красным лицом, одетая в ситцевую простенькую блузу.

— Я позабыл попросить Евстигнея, чтобы он разбудил меня, — пробовал я оправдаться, здороваясь с Александрой Васильевной.

— Значит, совесть немного-таки мучит вас?

— Да, проспать такое утро просто бессовестно. А Гаврило Степаныч, вероятно, гуляет?

— Да, он теперь в лесу, а я в кухне... Вы, я думаю, испугались меня?

— Нет, пока ничего, а только я вам должен категорически заметить, что, если вы из-за меня хоть пять минут лишних пробудете в кухне, я сейчас же исчезаю. Согласны?

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы и без вас что-нибудь едим; женской прислуги я не взяла с собой, потому что люблю иногда поработать, как кухарка. Гаврило Степаныч ворчит на меня за это, но, видите ли, мне необходимо готовить самой обед, потому что только я знаю, что любит муж и как ему угодить, а полнейшее спокойствие для него теперь лучшее лекарство. — Переменив тон, она прибавила: — А пока он придет, вы, во-первых, сходите умыться прямо в речке, а потом я вас на-

пою чаем; вот вам мыло и полотенце.

Защитив глаза от солнечного света, я с наслаждением брел прямо по густой траве к речке; как городской житель, я долго затруднялся выполнением такой замысловатой операции, как умывание прямо из речки, и только тогда достиг своей цели, когда после очень неудачных попыток догадался, наконец, положить около воды большой камень, опустился на него коленями и таким образом долго и с особенным наслаждением обливал себе голову, шею и руки холодной водой, черпая ее сложенными пригоршнями. Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром; на столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье.

— Я нарочно послала вас умыться в речке, чтобы вы хоть раз в жизни испытали это удовольствие, — говорила мне Александра Васильевна, подавая стакан чаю.

Мы весело болтали все время чая; Александра Васильевна держала себя непринужденно и просто, как сестра, но по ее лицу я заметил, что она хотела что-то сказать мне и не

решалась; я вывел ее из этого затруднения предложением не стесняться со мною.

— Мне хотелось поговорить с вами об Епинете Петровиче, — заговорила Александра Васильевна. — Вы учились вместе с ним?

— Да.

— Мы с мужем так его любим, он свой человек в нашем доме, но в нем есть одна странность, которая так всегда огорчает моего мужа...

— Бесхарактерность?

— Да, какое-то отсутствие воли; мне кажется, это зависит от его семейной обстановки... Это одиночество, бесконечная доброта... Ведь он такой умный и необыкновенно честный человек, поэтому как-то вдвойне обидно делается за него. Я буду откровенна с вами; Епинет Петрович живет у Фатевны... у ней, вы, вероятно, видели, есть дочь, Глаша, очень красивая и оригинальная девушка, но, к сожалению, совсем пустая и вдобавок очень легкомысленная... Я боюсь, что Епинет Петрович может увлечься ей, Фатевна способна на все, и может случиться так, что поправлять дело будет поздно. Мне, как женщине, нелов-

ко высказать ему это прямо в глаза, а вы, на правах друга, можете это сделать. Право, мне делается страшно от одной мысли, что такой отличный человек, как Епинет Петрович, может жениться на Глаше. Я не люблю говорить дурно о людях, особенно о молодых, из которых может выйти и добро и зло с одинаковой вероятностью, но есть такие натуры, которые неисправимы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я пристрастно смотрю на Глашу, но в каждом есть такие предубеждения против некоторых людей, и они иногда оправдываются.

Я обещал Александре Васильевне сделать все, как она желает, и вместе с тем высказал ей, что, насколько мне удалось заметить, такой опасности пока не существует для Мухоедова, хотя поручиться за него в будущем и невозможно; я откровенно высказал ей, что бесхарактерность Мухоедова огорчает и меня, но что это такой недостаток, который не поддается никакому лечению, особенно в известном возрасте. Александра Васильевна внимательно выслушала меня, а потом в раздумье проговорила:

— А он такой славный... Все рабочие так любят его, хоть и называют Казинетом. А вот и муж с Евстигнеем возвращаются, — весело прибавила Александра Васильевна, кивнув головой в сторону леса, где виднелись две мужских фигуры.

Когда они были уже недалеко, Александра Васильевна проговорила с озабоченным лицом:

— У меня к вам есть еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не заводите этих разговоров, которые могут волновать мужа... Ваше присутствие здесь будет для него лучшим лекарством и без них; он так интересуется вашей работой и вчера долго толковал со мной, чем и как помочь вам.

Несколько недель, проведенных мною на Половинке в обществе Гаврилы Степаныча, Александры Васильевны, Евстигнея и изредка посещавшего нас Мухоедова, принадлежат к счастливейшему времени моей жизни, по крайней мере никогда мне не случалось проводить время с такой пользой и вместе с таким удовольствием; моя работа быстро по-

двигалась вперед, Гаврило Степаныч принимал в ней самое живое участие, помогал мне словом и делом и с лихорадочным нетерпением следил за прибывавшим числом исписанных листов, которые он имел ангельское терпение перечитывать по десять раз, делал замечания, помогал в вычислениях, так что в результате моя работа настолько же принадлежала мне, как и ему. К моему удивлению, Гаврило Степаныч порядочно знал политическую экономию, читал Адама Смита, Милля, Маркса и постоянно жалел только о том, что, не зная новых языков, он не может пользоваться богатой европейской литературой по разным экономическим вопросам из первых рук, а не дожидаясь переводов на русский язык; в статистике Гаврило Степаныч был как у себя дома, читал Кетле и Кольба, а работы русского профессора Янсона он знал почти наизусть. Вообще трудно было сказать, чего только не знал и чего не читал Гаврило Степаныч, и, главное, все это делалось только в свободное время от его специальных занятий в заводе и делалось исключительно по своему собственному выбору, вне всяких посто-

ронних влияний. Мне всего больше в Гавриле Степаныче нравилась необыкновенная энергия его мысли и какая-то восторженная любовь к знанию; здесь он являлся жрецом чистого искусства, и, по моему мнению, эта сила любви поддерживала его растительный организм лучше всяких лекарств. У него была своя очень порядочная библиотека, составленная очень удачно; кроме того, он выписывал «Вестник Европы» и «Отечественные записки», и каждая новая книжка журнала для него была праздником.

В промежутки между работой мы делали длинные прогулки, большею частью вдвоем с Гаврилой Степанычем, потому что Александра Васильевна была завалена работой по хозяйству; мы отлично изучили местность верст на десять кругом и особенно облюбовали небольшой борок, гривой покрывавший холмистую возвышенность. Здесь мы отдыхали в жаркие летние дни, по целым часам лежа на мягкой траве и чутко прислушиваясь к вечному шепоту высоких столетних сосен; чтение и разговоры как-то особенно хорошо удавались в этом бору, и, как я ни старался,

дело не обошлось без таких тем, которые волновали больного. Гаврило Степаныч понял мои усилия и однажды в минуту откровенности проговорил:

— Это вас Саша научила?

Мне оставалось только сознаться в заговоре; Гаврило Степаныч улыбнулся больной улыбкой и заговорил дрогнувшим голосом:

— Саша славная... Это ангел, а не человек. Вы не знаете ее хорошенько... Мы, мужчины, вообще очень дурно относимся к женщинам; это историческая несправедливость и наш эгоизм, а между тем, подумайте, чем были бы мы, если бы около каждого из нас не было заботливой, любящей руки... Я молюсь на мою Сашу и, право, не знаю за ней ни одного недостатка; а сколько ей, бедняжке, приходится выносить из-за меня... Возиться с больным мужем, выносить его капризы, стоять над каждым его желанием ангелом-хранителем, — ведь это такая жертва, которая приносится каждый день и на которую не имеешь никакого права, а между тем я часто бываю несправедлив к ней, мучаю ее капризами, придираюсь к пустякам. После опомнишься и

сделается так стыдно, что даже извиняться совестно... Да когда я и здоров был, разве я был бы тем, чем есть, если бы не Саша; она моей невестой лет восемь была, и как мы славно жили, как работали. Она была сельской учительницей, а я работал в заводе, учился и служил. Всеми своими знаниями, любовью к упорному, систематическому труду, выработкой характера — ведь всем я обязан моей Саше... И какая скромность в ней!.. Вот теперь хотим открывать ремесленную школу, то есть это хочет ее открывать Саша, а мы с Мухоедовым только помогать ей будем. И ведь ни слова никому!.. Вот я, грешный человек, болтлив: и про хорошее скажу, и про дурное. Что поделаешь, уж такой характер, а Саша не то: крепкий человек...

Голос Гаврилы Степаныча дрожал, глаза блестели; он с трудом дышал и, переведя дух, продолжал с прежним одушевлением:

— Я думал заплатить ей счастливой и спокойной жизнью за все, а тут болезнь... А как она за мной ухаживает!.. Обед сама готовит и еще уверяет, что ей это нравится, а дело просто в том, что она не доверяет ни одной ку-

харке такого важного дела; доктор натолковал ей о важности питания, вот она и бьется, как рыба об лед... А как вы думаете, поправлюсь я или нет? — неожиданно спросил меня Гаврило Степаныч.

— Помилуйте, конечно поправитесь, — поспешил я ответить.

— Зачем вы так торопитесь высказать то, чему и сами не верите, — с легким упреком в голосе заговорил Гаврило Степаныч. — Доктор давно смотрит на меня такими глазами, точно я уже препарат для его ножа; вы тоже сомнительно поглядываете на меня, только Саша да Мухоедов, как дети, слепо верят в мое выздоровление, и, представьте себе, они вернее отгадали то, чего наука еще не видит. Вы и доктор, например, смотрите на меня и думаете: «Куда ему поправиться, когда в нем места нет живого», а я вот возьму да и поправлюсь, поправлюсь именно потому, что во мне места нет живого. Да, это совершенно верно. Вы посмотрите на Евстигнея, в нем, кажется, двух капель крови нет, а живет себе, на восьмой десяток перевалило, зубы все целы, волосы недавно начали седеть и, наверное, дожи-

вет до ста лет. Дело просто: с молодости, когда организм формируется и растет каждой клеточкой, его силы надорвут непосильной работой, вытянут, а в сорок лет человек полный калека, как загнанная лошадь; тут человек уже неспособен на настоящий труд, а в состоянии сидеть только в карауле, как Евстигней, хоть сто лет. Вот вам наш портрет с Евстигнеем: он вытянулся на крепостном помещичьем труде, я тоже свою крепостную службу вынес, и, главное, в нас обоих остался такой маленький запас сил, что для их поддержки требуется minimum тех условий, при которых может существовать живой человек. Поэтому моя болезнь, например, в два месяца скрутит какой угодно организм, а я скриплю с ней пятый год и не думаю умирать, а надеюсь скоро совсем поправиться. Да, это ясно как день, и я чувствую, что останусь жив, хотя иногда приходится очень жутко и выносишь страшную пытку, чтобы не выдать своих страданий Саше... Бедная без того скружилась со мной!

— Таких, как мы с Евстигнеем, вы найдете в Пеньковке сотни, — продолжал Гаврило Степаныч, — это все жертвы бывшего кре-

постного права или жертвы нынешней огненной работы... И представьте себе, как это ни странно, на заводах Кайгородова, в том числе и в Пеньковке, рабочим жилось в материальном отношении гораздо лучше за помещиком, чем теперь; причина заключается в том, что помещик как-никак, а все-таки кормил калек, стариков и сирот, а теперь они брошены на произвол судьбы... Выиграли только те рабочие, которые в полной силе; им действительно хорошо, и живут они отлично, но это счастливое состояние продолжается пятнадцать — двадцать лет, человек израбатывается и поступает на содержание к детям, если они есть. Девки в счет нейдут при этом, а только парни, которые при больших заработках привыкают к известной роскоши, а затем к водке, так что положение заводского рабочего никак нельзя сравнить ни в материальном, ни в нравственном отношении с положением крестьянина.

Гаврило Степаныч очень подробно развивал каждый раз при таких разговорах план перехода от ссудо-сберегательного товарищества к обществу потребителей, а от него к

производительным артелям, которые в далеком будущем должны окончательно вырвать заводского рабочего из рук «сестер», Фатевны и целой стаи подрядчиков, кулаков и прасолов; страховые артели на случай несчастья, сиротства, старости, увечья и прочих невзгод, среди которых проходит жизнь рабочего, должны были венчать это будущее здание. Профессиональные школы, музей прикладных знаний, публичные чтения, театр, библиотека — все это должно было явиться само собой, как только установятся прочно начала экономического благосостояния рабочего.

— Нам не нужно революций, — прибавлял Гаврило Степаныч, — мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент на предметах первой необходимости, на пище и одежде; хотим обеспечить себе производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков; стремимся застраховать себя на случай несчастья и дать детям такое воспитание, которое вместе с ремеслом вселило бы в них любовь к знанию. У меня, знаете, давно в голове бродит некоторая идея... Потребительные, ссудо-сберегательные и производитель-

ные артели рабочие должны устроить сами, дело крупных предпринимателей только не мешать им, это все понятно и логично, а вот, что касается страховых артелей, — вот здесь, по-моему, уж дело заводчиков застраховать жизнь и здоровье работника. Ведь инвалиды-рабочие имеют на это полное право, потому что хозяйские машины ломают им руки и ноги. Хочу составить проект по этому вопросу...

Это счастливое, возбужденное настроение часто переходило у Гаврилы Степаныча в минорный тон, он съеживался, смолкал и несколько раз говорил с печальной улыбкой:

— Иногда какое-то отчаяние нападает... является какая-то проклятая неуверенность. Иногда работаешь, бьешься, а тут как палкой по голове: «Все, дескать, это некоторое сражение с ветряными мельницами и добродетельное удерживание бури зонтиком...» Ну, а потом опять этакая светлая вера является, надеждишки разные — где наше не пропадало.

В одно из посещений Мухоедова, когда мы далеко ушли с ним вдвоем, я, желая исполнить свое обещание Александре Васильевне,

издалека завел с ним речь о разных случайностях жизни и свел все на возможность увлечения, например, такой девушкой, которая может испортить порядочному человеку целую жизнь; вся эта мораль была высказана мной с остановками, перерывами, примерами и пояснениями, причем я чувствовал себя не совсем хорошо, хотя и пользовался всеми правами друга. Мухоедов слушал мою проповедь с признаками нетерпения, грыз ногти, а потом спросил, как Гаврило Степаныч:

— Тебя Александра Васильевна научила?

— Будто я уж сам и не могу додуматься до такой простой вещи, — проговорил я, стараясь обидеться. — При чем тут Александра Васильевна? Я... думаю, что поступаю как твой лучший друг.

Мухоедов покатился от душившего его смеха по траве, а его «лучший друг» стоял, вытаращив глаза; когда пароксизм смеха прошел, Мухоедов сел рядом со мной, помолчал и заговорил глухим голосом:

— Ты не отпирайся, у меня свои глаза есть, и я отплачу тебе откровенностью за твою хитрость. На Глашке — дело идет о ней, если я не

ошибаюсь, — я никогда не женюсь, не потому что это пустая девчонка, а потому... как это тебе сказать?.. Ну, словом, нет у меня этих семейных инстинктов, нет умонаклонения к семейному очагу и баста. Да и жить, может, уж недолго осталось, дотяну как-нибудь по-прежнему вольной птицей.

Глава 6

В начале июля жизнь нашего мирного уголка была встревожена вторжением Муфеля, который, проездом на какую-то охоту, в сопровождении довольно многочисленной свиты, состоявшей из лесничих, «сестер» и нескольких лесообъездчиков, счел своим долгом посетить Гаврилу Степаныча и, встретив меня здесь, выразил нечто вроде удовольствия; любезность этого немца зашла настолько далеко, что он даже предложил мне принять участие в его охоте, но я отказался от этого удовольствия, в чем после не имел повода раскаиваться, потому что такие охоты Муфеля были только предлогом для некоторых таинственных оргий, устраиваемых для него «сестрами» и лесничими. В этих оргиях главная роль принадлежала женщинам, а в

настоящем случае приманкой служила какая-то пикантная «штучка», которой подчиненные угощали своего повелителя; эти периодические экскурсии были в порядке вещей, и Муфель отдыхал в них от своих трудов и забот по управлению заводом. Орда, сопровождавшая его, представляла из себя самую оригинальную картину: «сестры» были в своих неизменных полукафтаньях, верхом на отличных лошадях, с какими-то лядунками, развешанными на груди и неловко болтавшимися при каждом движении; они крепко сидели на высоких пастушьих седлах, как люди, привыкшие ездить верхом; у каждого под седлом, вдоль лошади, были привязаны кремневые «турки», вероятно, на всякий случай.

Муфель и двое лесничих были одеты в серые охотничьи куртки с зелеными аксельбантами, высокие охотничьи сапоги и тоже были украшены лядунками и двустволками; один лесничий был старик немец с умным красным лицом и длинными седыми усами, говорил мало и резко; другой помоложе, из братьев поляков, с дерзким лицом, украшенным небольшой эспаньолкой, с усиками, закру-

ченными шильцем. В эту же компанию замешался толстый подрядчик, который мешком сидел на лошади, тяжело вздыхал и был без всякого оружия, кроме небольшой березовой ветки, которой он не без ловкости отгонял овод с лошади Муфеля. Пять человек лесообъездчиков, одетых в серые куртки из толстого фабричного сукна, были подобраны молодец к молодцу и предупреждали малейшее желание Муфеля: садили и снимали его с седла, подавали ему фляги с водкой, сигары, причем каждый раз быстро снимали с себя мерлушчатые круглые шапки с зеленым верхом; из них выделялись более других сыновья Прохора Пантелеича. «Коскентин» был, как всегда, угрюм и выглядывал травленым волком; Филька, как всегда, был весел и смотрел кругом своими улыбавшимися хитрыми карими глазками самым беззаботным образом, весело встряхивал подстриженными в скобу русыми волосами и забавно крутил своей кудрявой бородкой.

Вся эта орда перевернула вверх дном решительно все в нашей избушке: старик лесничий барабанил на рояле арии из m-me

Angot, молодой поляк делал глазки Александре Васильевне, выпячивал и надувал грудь, закручивал молодецки усы; бедная женщина краснела и не знала, куда ей деваться от такого любезного кавалера. Лесничий попробовал даже забраться в кухню и предложил свои услуги хлопотавшей хозяйке помочь ей у печки, но и это было отвергнуто, и оставалось только крутить усы, выпячивать грудь и прохаживаться по крыльцу индейским петухом.

— О, ви слюшайсь мэнэ, — ораторствовал Муфель, хлопая Гаврилу Степаныча своей могучей рукой по плечу.

— Кушай Bier... [144] бифштекс с кровь... Вот как я, молодец мущин!..

— Коньяк тоже во многих болезнях отлично помогает, — говорил лесничий из-за рояля, — со мной раз был случай...

— И коньяк хорошо... мой любит коньяк.

Поляк что-то шепнул Муфелю, кивнув головой в сторону проходившей мимо Александры Васильевны; Муфель взъерошил свои волоса и громко захохотал.

— И мой хочет хворать, — кричал он, обращаясь к Гавриле Степанычу, — если бы у мэнэ

был такой красивой жон, — мой тоже болен... Ха-ха! Тут всякий болен... О, какой миленький дам!..

Муфель был в некотором подпитии и нес самый невозможный вздор, от которого бедный Гаврило Степаныч весь позеленел; я не мог дольше выносить этой сцены и вышел на крыльцо. «Сестры», подрядчик и лесообъездчики расположились в тени навеса, где солнце не так жгло; лошади были привязаны в лесу, и для них был устроен небольшой костер из гнилых пней и свежей травы, дававший густую струю белого едкого дыма. «Сестры» сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали между собой вполголоса; лесообъездчики окружили толстого подрядчика, который лежал брюхом прямо на земле, болтая толстыми ногами, заключенными в смазные сапоги. В руках у подрядчика была бутылка, которая служила предметом общего разговора и вызвала несколько шуток.

— Куда ты нянчишься с ней, Никитич? — спрашивал Филька, ласково заглядывая на бутылку.

— Куда?! Место найдем, — флегматически

отвечал подрядчик, движением головы сдвигая картуз на ухо, — ты думаешь, это простой коньяк. Не-ет, брат, это называется финшалпал; восемь рублев отдал за бутылку. Понял?

— Еще, пожалуй, меньше... — острил Филька, с любопытством трогая бутылку указательным пальцем. — Ах, Никитич, Никитич, хоть бы ты нам понюхать дал...

— Рылом не вышел еще; не хочешь...

— А я этого финшалпалу пивал страсть сколько, — заговорил Филька. — Вот-те ну бог, пивал...

— По которому гуси плавают?

— Нет, настоящий; как рюмочку хватишь, так и вдарит по голове, точно поленом.

— Што-нибудь да не так, — сомневался подрядчик, играя соломинкой, которую он держал в зубах. — Это вино только господа пьют... Вот приедем на место, я сейчас Слава-богу супрыз и сделаю; с самой Пеньковки везу эту бутылку за пазухой, а ты: «пивал!..» Рожа!

— Ей-богу, пивал! Сейчас провалиться: пивал! — клялся Филька, встряхивая русыми волосами.

— Говорят тебе, несуразный ты человек, господа пьют финшалпал, а ты восьми-то рублей сроду не видывал...

— И я с господами пил, — продолжал утверждать Филька.

— Филька... а, Филька! Расскажи, Филька, — пристали к нему другие лесообъездчики. — Только не ври; больно уж ты врать-то лют...

— Врать... Я — врать?! — обиделся было Филька, но сейчас же улыбнулся и, почесав за ухом, заговорил: — Как-то в позапрошлой зиме ездили мы с Слава-богу в Косачи, а там Ястребок уж все устроил; и женский пол, и всякое прочее. По пути наловили в реке тальменей и заварили важнеющую уху; давай есть. Мировой судья с нами был, он живо натюкался и с копыльев долой; мы его так в уголок и прибрали, чтобы под ногами не мешался, а Слава-богу с Ястребком крепки на вино; пьют да только краснеют, да все на девок наступают, а девок полна изба, сидим все равно как в малине. Все хорошо. Заставили меня на губах камаринского играть, учали плясать; Ястребок на руках давай ходить, всех девок

перепужал до смерти, а Слава-богу песни задувает и все по-своему лопочет, как лесной... Нас, лесообъездчиков, со смеху уморили и все водкой накачивают, все водкой: пей — не хочу! До самого утра этаким манером гарцевали, а потом наши господа отобрали себе по принцессе и нас из избы по шеям; я порядки эти ихние в тонкости знаю, а когда играл на губах, одну бутылочку с финшалпалом в пазуху спрятал. Ушли мы все на сарай и этот финшалпал весь выпили, а тут только заснули, слышим в избе кричат: «Караул! умер!..» И по-немецкому Слава-богу лопочет совсем несуразное, точно его колют... Прибежали мы в избу: темно; а Слава-богу пуще того не своим голосом: «Караул! умер!..» Вздули огня; Слава-богу завалился под лавку да там и орет во все горло, мы его оттедова добыли, опамятовался и благодарить стал... Девки, которые с ними были в избе, залезли на печку и тоже воют не своим голосом; Ястребок свернулся клубочком, спит, так и разбудить его не могли. А мировой сидит у поганой кадки, в которую бабы помои коровам выливают, и ковшом помои эти самые пьет... Вот где было

смеху: в жисть свою не припомню, чтобы этак когда вышло!

— А Слава-богу зачем кричал? — спрашивал подрядчик, болтая ногами.

— Слава-богу лег на пол спать с своей принцессой, да во сне под лавку и закатись, а тут проснулся, испить захотел, кругом темень, он рукой пошевелил — с одной стороны стена, повел кверху — опять стена, на другую сторону раскинул рукой — опять стена (в крестьянах к лавкам этакие доски набивают с краю, для красы), вот ему и покажись, что он в гробу и что его похоронили. Вот он и давай кричать... Ну, разутешили они нас тогда!

Этот рассказ вызвал взрыв общего хохота: подрядчик, лежа по-прежнему на брюхе, уткнул свое лицо в траву и только дрыгал ногами, лесообъездчики надрывались от смеха и хватались за бока, сам Филька хохотал больше всех и от удовольствия катался по траве, даже «сестры», и те потихоньку хихикали в своем углу, как две совы; из всей этой компании один Коскентин оставался по-прежнему в угрюмом настроении. Когда подрядчик немного пришел в себя, он поднял

свое мягкое, как подушка, лицо и спрашивал Фильку, захлебываясь от смеха:

— О, чтоб те разорвало... Так ты говоришь: Слава-богу кричит: «умер», а мировой ковшом из поганой кадки помои пьет? О-ха-ха-ааа!

— Мировой проснулся ночью-то, — объяснял Филька, — в избе темень, душа горит, вот он пополз по полу-то, да и нашел ковш... думает — вода и давай пить! После его рвало-рвало с помоев-то, а Ястребок катается, хохочет над ним.

— А ты бы, Филька, рассказал лучше Никитичу, как тебя Гаврило Степаныч с бревном поймал, — угрюмо заговорил Коскентин.

— Что с бревном... с бревном не ускочишь, — с недовольством в голосе отозвался Филька, — только ему мое бревно впрок не пойдет. Он теперь уж высох весь, кикимора...

— Это он твоим бревном подавился, Филька, оттого и сохнет, — говорил Никитич.

— Я его и то собираюсь из-за полена углом шарахнуть... Верно!.. Не в свое дело суется: разве это его дело, коли я бревно везу?.. Сейчас к лесничему меня вместе с бревном, а

наш Карла покричал на меня для видимости, а когда Гаврило Степаныч ушел, он и говорит: «Вот, говорит, два дурака навязались — один бревна не умеет украсть, а другой дурак ловит...» Ей-богу! Карла у нас порядок любит, а главное не беспокой его... Разве когда под сердитую руку подзатыльника даст. Как-то устроили они охоту на медведя; нас, лесообъездчиков, человек десять было; по первому снежку и видно, как он бродил, мы и идем прямо по сакме. Впереди идет Слава-богу, за ним наш Карла, мы издальки идем; завел этот след нас в разгустой-густой лес, а я по следам вижу, что матерый медведь ходил, пожалуй, покажет такую страсть, что небо с овчинку... Только вдруг слышим — взревел медведь, значит объявился, что хозяин дома, пожалуйте в гости; наш Карла обробел, побелел весь, руки так и трясутся... Пустили мы вперед лесообъездчика Анику, он с рогатиной хоть на черта; Аника живо обработал медведя, а тут Карла его из левольверта пристрелил, а сам все трясется, как осина. Убили мы таким манером медведя, хватились Слава-богу, а его нет; Карла говорит, что беспременно

задавил его медведь, и посылает нас по лесу его мертвого искать. Разбрелись мы по лесу, а я пошел назад, потому знаю, что Слава-богу от медведя без оглядки домой задул, и след его скоро нашел, а потом и вижу, как он под кустом спрятался и ружье бросил.

— Подхожу я к нему потихоньку, а он думает, что это медведь, да как бросится от меня бежать — шапку даже потерял, так без шапки и летит, как поповский жеребец; кое-как я догнал его и привел к Карле, а он сидит на мертвом медведе да пред лесообъездчиками храбрость свою рассказывает. Я подошел к нему и говорю: «Слышал, мол, я, Карл Карлыч, как вы воркунов-то спутали...»[145]

— Ну?..

— Верно!

— Поди, врешь?

— Чего мне врать... не подряд взял врать-то! Карла ничего, не осердился, потому на охоте говори ему, что хошь, порядок у него такой. Вот лесоворов ловить, так супротив Карлы никому не сделать; он по духу слышит, где дерево рубят, и сейчас к мировому, а потом на высидку, потому у него везде порядок.

— Без порядку невозможно, — флегматически соглашался Никитич.

Гости, против моего ожидания, остались на Половинке до самого вечера и совсем испортили нам целый день; все страшно пили, кричали, старик немец барабанил вальсы, Муфель был красен, как вареный рак, и вздумал угостить почтенную публику целым представлением. Принесли длинную жердь, «сестры» положили ее себе на плечи, и Муфель принялся выделывать на ней гимнастические упражнения: вертелся на брюхе, вертелся на локтях, вертелся на согнутых коленках — словом, показывал чудеса своего искусства; «сестры» только кряхтели и сильно пошатывались, когда Муфель выделывал разные salto mortale[146]; лесообъездчики ахали, Никитич стоял в немом восторге с растворенным ртом. Наконец и это кончилось, и вся орда скрылась в лесу, а мы все остались такими измученными и несчастными, что тяжело было смотреть друг на друга; Гаврило Степаныч повесил голову и только вытягивал шею, точно его что душило. Вечером он не вытерпел и, когда мы сидели за чаем, заговорил:

— Не могу я видеть эту шайку воров... Ведь все до одного воры... Это ужасно...

— Гаврило Степаныч, ты опять... — попробовала было остановить мужа Александра Васильевна. — Помнишь, как доктор строго запретил тебе волноваться...

— Ах, Саша, Саша... — каким-то ребячьим шепотом заговорил Гаврило Степаныч, а на впалых щеках так и заиграл яркий румянец. — Разве доктор был у меня на душе? А если я не могу видеть этой мерзости, этих разбойников... Мне легче будет, если я выскажусь...

Обратившись ко мне, Гаврило Степаныч заговорил с такою поспешностью, точно боялся умереть прежде, чем успеет высказать все, что лежало у него на душе.

— Пеньковка и еще девять заводов принадлежат, как вы знаете, Кайгородову, который живет постоянно за границей и был на заводах всего только раз в своей жизни, лет пятнадцать тому назад; пробыл недели две и уехал. Впрочем, от его визитов только лишний расход, а пользы немного; он требует свои восемьсот тысяч ежегодно и больше

знать ничего не хочет. Кутило и мот губит такие отличные заводы на Урале, а сам шатается по Европе да удивляет всех своими безобразиями. В Париже, в Вене, в Италии понастроил дворцов своим любовницам, а мы сохнем для него здесь на работе. Да сам Кайгородов еще ничего, плохо то, что немцы его совсем обошли: целая лестница из немцев... А у них известный порядок, как клопы: один появился, и целое гнездо сейчас заведется. Главный управляющий у нас немец, управители на заводах немцы, лесничие — немцы, плюнуть некуда; вот они и обрабатывают Кайгородова. Вы подумайте, что заводы Кайгородова ежегодно выплавляют до трех миллионов пудов металлов: чугуна, железа, стали, меди; одних дров ежегодно выходит до трехсот тысяч кубических сажен да столько же идет лесу на выделку угля — ведь подумать страшно... Есть около чего похозяйничать. Ну, и хозяйничают... Прибавьте к этому еще то, что заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, значит он имеет только право на пользование — вот мы и пользуемся!.. Да что им, этим немцам, и жалеть нас, дураков:

выжгут все, набьют себе карманы и уедут, а мы останемся, как рак на мели. Вот вам пример нашего заводского хозяйства: из десяти заводов первое место принадлежит Нижне-Угловскому заводу, леса кругом него давно выжжены, строят Пеньковку, потому что кругом Пеньковки лесу пропасть, значит нужно пустить его в ход. Руду везут к нам из Нижне-Угловского завода, мы ее переплавляем в чугун, превращаем в железо или сталь и везем обратно в Нижне-Угловский завод, чтобы там переделать в рельсовую болванку; своего чугуна нам недостает, нам везут его из других заводов, мы его переделываем в железо и отправляем опять в Нижне-Угловский завод. Другая чугунная болванка прогуляется таким образом раз шесть; да рельсы прокатим раза два от Пеньковки в Нижне-Угловский завод.

— По-моему, проще было бы возить в Нижне-Угловский завод прямо дрова и уголь; тогда вместо шести концов приходится сделать всего один, — проговорил я.

— Вот в том-то и дело, что в этом весь наш расчет заключается, чтобы перевозить с места на место руду и чугун. Вы представьте се-

бе, что мы украдем по полтиннику с каждой сажени дров, да еще столько же сдерем с подрядчиков, которые живут нашей перевозкой: им выгодно и нам выгодно, а Кайгородов рукой на все махнул, хоть трава не расти. Вы видели сегодня Муфеля и лесничих, вот у них рука руку и моет, живут душа в душу, а около них наживаются «сестры», лесообъездчики, целая шайка подрядчиков... Так как заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, то от горного департамента существует горный исправник, который столько же может сделать, как Евстигней: видит все, своими глазами все видит, а взять не с кого. Пеньковка жрет дрова; а что против этого поделаешь? Чтобы отвести глаза исправнику, лесничие придумали какую штуку: всем лесообъездчикам заказано строго-настрого преследовать лесоворов, вот они и усердствуют, завалили мировых судей делами о лесных кражах, а им это на руку, потому что они сами воруют в десять раз больше и продают лес тем же рабочим. Везет мужик жердь, бревно, осьмушку дров — сейчас к мировому, а мировые судьи пляшут по дудке немцев и пресле-

дуют лесоворов высидкой и штрафами. Настоящие-то лесоворы остаются в стороне и капиталы наживают, а мужик отдувается за все: и в кутузке сидит за каждое полено, и штрафы с него мировые судьи дерут, да еще он же должен ворованный лес втридорога покупать все у тех же лесообъездчиков. Эта штука очень ловкая: исправник спокоен, потому что знает, куда лес идет, — лесоворы воруют; лесничие и лесообъездчики набивают себе карман отчасти собственным воровством леса, а отчасти от подрядчиков, которые поставляют дрова и уголь; Муфель тоже не в накладе, у него в руках вся перевозка и от лесничих перепадет... Помните басню Крылова о том мельнике, у которого вода размыла плотину, а он все свалил на куриц; у нас роль этих куриц играют лесоворы. Ведь это ужасно, ужасно...

Гаврило Степаныч сильно увлекся своей темой; Александра Васильевна потихоньку несколько раз дергала его за рукав, но этот невинный маневр не привел к желаемой цели, а еще больше сердил Гаврилу Степаныча, и он с горечью проговорил:

— Саша, голубчик... Ведь я служу Кайгоро-

дову; жизнь свою положил на его заводах, поэтому имею полное право и обязан называть вещи их именами. Ведь сегодня эта саранча всю душу из меня вытянула... Ах, Саша, Саша, нельзя же все думать только о себе!

Посещение Муфеля уложило Гаврилу Степаныча на несколько дней в постель.

В конце июля моя работа была совсем почти кончена, оставалось еще собрать несколько сведений в пеньковском архиве, а затем съездить в Нижне-Угловский завод, чтобы там проверить кой-какие цифры, которые вошли в мою работу; благодаря указаниям и помощи Гаврилы Степаныча мой труд представлял из себя очень интересную картину экономической жизни Пеньковского завода, главная роль в которой принадлежала ужасающей цифре смертности во всех возрастах, стоявшей, по-видимому, в таком противоречии с наружным благосостоянием Пеньковки. Эти роковые цифры смертности, как ртуть в термометре, разоблачали ту жалкую правду, о которой так горячо всегда говорил Гаврило Степаныч и которую с первого взгляда так трудно было заметить; вообще я как

нельзя больше был доволен результатами своего труда и отлично проведенным летом. Я от души полюбил Гаврилу Степаныча и Александру Васильевну, и мне тем печальней казалась необходимость расставаться с Половинкой и этими милыми людьми, с которыми было связано столько отрадных воспоминаний. Мне нужно было уезжать, но я день за днем за разными предлогами откладывал свой отъезд, не имея сил расстаться с своими новыми друзьями; в последних числах июля я, наконец, объявил, что уезжаю. Гаврило Степаныч не удерживал меня, Александра Васильевна обиделась и промолчала. Вышла тяжелая сцена, которая неизбежно испытывается при разлуке близких людей, но она разрешилась хотя и тяжелым, но самым трогательным образом.

— Нельзя же, Саша, ему жить с нами, — уговаривал жену Гаврило Степаныч, — прожили лето отлично, может, еще когда встретимся; чего же еще нужно?

Рано утром серого ненастного дня пред избушкой стояла телега, запряженная рыжей лошадью, и мы в последний раз пили чай на

русском крыльце; Александра Васильевна больше молчала, зато Гаврило Степаныч не переставал говорить и выстраивал один за другим самые несбыточные планы наших будущих свиданий, и сам же смеялся над их несбыточностью, прибавляя каждый раз:

— А кто знает, может быть, и увидимся... Гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится; будем письма писать.

Я обещал еще раз приехать в Половинку, если позволят обстоятельства, но Александра Васильевна только качала головой и с недоверчивой улыбкой говорила:

— Это так, одни слова... Вон Мухоедов обещал чуть не каждый день ездить, а как переехали в Половинку, так по целым неделям и глаз не кажет.

Напутствуемый всякими пожеланиями и горячими пожатиями рук, я, наконец, уселся в телегу вместе с Евстигнеем; Гаврило Степаныч сбежал с крыльца, мы обнялись и по русскому обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться.

— Я не знала, что мужчины способны на такие телячьи нежности, — говорила она,

держась одной рукой за притолоку крыльца.

— Ну, прощайте, голубчик, — говорил Гаврило Степаныч, укутывая мои ноги пледом с неизвестной целью, точно я мог их познобить в июле. — Хотел я проводить вас, голубчик, да день-то вон какой; ноги, пожалуй, промочу и опять слягу... Я скоро совсем поправлюсь.

— Дальние проводы — лишние слезы, — отвечал я.

Евстигней задергал вожжами, телега тронулась, оставляя глубокий след на мокрой земле и безжалостно прижимая пожелтевшую траву; Гаврило Степаныч стоял на крыльце и махал шляпой, Александра Васильевна стояла на прежнем месте, и ее красивое лицо казалось по мере нашего удаления все меньше и меньше. Я в последний раз махнул своей шляпой, когда наша телега въезжала в лес, и Половинка скрылась из моих глаз за мелькавшей сеткой деревьев.

Глава 7

В Пеньковке я нашел большие перемены, начиная с того, что Фатевна почему-то находила нужным «взбуривать» на меня; встречаясь со мной, она каждый раз ядовито улы-

балась и еще более ядовито подбирала свои губы и смотрела на меня своими ястребиными глазами с полным презрением. Несколько раз я думал переговорить о всем этом с Мухоедовым, но и он совсем как-то переменился со мной и даже как будто старался избегать меня; о прежних откровенных разговорах не было и помину. Я терялся в догадках о том, какая кошка могла пробежать между нами, особенно между мной и Мухоедовым. Даже Глаша и та находила нужным почему-то фукать на меня, как кошка, а когда случайно встречалась со мной, не успев скрыться, как молния, она опускала глаза и делала сердитое лицо; в течение лета девушка совсем сформировалась и выглядела почти красавицей, если бы не резкие, угловатые движения, которые все еще отзывались детским возрастом. Одна Фешка была неизмеримо глупа по-прежнему; по-прежнему стучала своими громадными ногами и улыбалась той блаженной улыбкой, какой могут смеяться только безнадежно глупые люди. Галактионовна по-прежнему, вероятно, выходила бы на крылечко позлословить на всю улицу, но этому мешало стоявшее

ненастье; раз она думала было незаметным образом пробраться в мою комнату и, вероятно, разоблачила бы все, но ее положительно не допустили ко мне. Фатевна встретила ее таким градом ругательств, что бедный поэт, «живот спасая», заблагорассудил удалиться на свое пепелище самым поспешным образом. Я видел из своего окна, как ее длинная нескладная фигура шлепала по двору под проливным дождем и она отмахивалась своей костлявой рукой от ругани Фатевны, как от комаров.

Отец Андроник с Асклипиодотом раза два наведывались к нам, посидели, выпили, но Мухоедов так упорно отмалчивался все время их визита, а я настолько не умел поддержать разговора, что они, кажется, поняли, наконец, печальную истину, переглянулись между собой и, вероятно, решили про себя, что у нас что-нибудь «не ладно», поэтому благоразумно воздержались от новых посещений. Уходя от нас в последний раз, о. Андроник с добродушной улыбкой проговорил:

— Заходите как-нибудь ко мне, братчики... У меня, может, веселее, чем у вас. Ох, уж это

мне ненастье: поясницу так и ломит... Старость не радость, не красные дни! О-хо-хо!.. У меня вон хина и та с седала не сходит; растопырилась, как купчиха, и сидит.

Ввиду всех этих обстоятельств я положительно тосковал о Половинке и поторопился уехать в Нижне-Угловский завод, где и пробыл дней десять; когда я вернулся в Пеньковку, то нашел все в том же положении, в каком оставил, только Мухоедов был совсем неузнаваем — был скучен, печален и проводил почти все свое время в заводе. Однажды я совсем было решился объясниться с Мухоедовым начистоту, чтобы разом покончить со всей этой проклятой неизвестностью, но он сделал такое жалкое лицо и таким умоляющим взглядом посмотрел на меня, что у меня просто рука не поднялась нанести ему решительный удар.

— После... мне нужно с тобой будет переговорить, — глухо прошептал однажды вечером Мухоедов, завертываясь в одеяло. — Только, пожалуйста, теперь ни о чем не спрашивай меня.

Август был в половине, и стояла какая-то

совсем отчаянная погода — дождь, дождь и дождь, мелкий и беспощадный, настоящий осенний дождь, который «зарядил» на целый месяц; провернулось, правда, несколько солнечных дней, но солнце светило таким печальным светом, и кругом было все так безнадежно серо, что на душе щемило от этих печальных картин еще сильней, точно не было конца этим серым низким тучам, которые ползли по небу расплывающимися мутными пятнами, с поспешностью перебираясь на юго-запад. Улица, на которую выходили окна моей комнаты, имела теперь самый печальный вид: ряды домиков, очень красивых в хорошую погоду, теперь выглядели мрачно, а непролазная грязь посредине улицы представляла самое отвратительное зрелище, точно целая река грязи, по которой плыли телеги с дровами, коробья с углем, маленькие тележки с рудой и осторожно пробирались пешеходы возле самых домов по кое-как набросанным, скользким от дождя жердочкам, камням и жалким остаткам недавно зеленой «полянки».

Пруд, который еще так недавно представ-

лял ряд отличных картин, теперь совсем почернел и наводил уныние своей безжизненной мутной водой; только одна заводская фабрика сильно выиграла осенью, особенно длинными темными ночами, когда среди мрака бодро раздавался ее гул, а из труб валили снопы искр, и время от времени вырывались длинные языки красного пламени, на минуту побеждавшие окружавшую тьму и освещавшие всю фабрику и ближайшие дома кровавым отблеском. Вообще трудно представить себе что-нибудь скучнее русской осени, но осень в Пеньковке была положительно из рук вон и нагоняла страшную тоску. Моя работа была кончена, через несколько дней я думал совсем распрощаться с Пеньковкой и ее обитателями; но мне хотелось пред отъездом еще раз побывать в Половинке, и я пережидал только, когда дождь немного стихнет.

Ночь на 12 августа была особенно неприветлива: дождь лил как из ведра, ветер со стоном и воем метался по улице, завывал в трубе и рвал с петель ставни у окон; где-то скрипели доски, выла мокрая собака, и глухо шумела вода в пруде, разбивая о каменистый берег

ряды мутных пенившихся волн. Мухоедов находился в особенно мрачном настроении, курил безостановочно одну папиросу за другой, и мы кончили тем, что улеглись спать раньше обыкновенного; я скоро заснул под шумок завывавшего ветра и однообразное тикание стенных часов, но в эту бурную ночь нам не суждено было спать. Часа в два утра, в момент самого крепкого сна, послышался сильный стук в двери и громкие голоса; мы быстро вскочили с постелей, отворили дверь, и пред нами показалась Фатевна с фонарем в руках, за ней вошел в комнату Евстигней. Старик был в одной рубахе, без шляпы, и, как говорится, на нем нитки сухой не было, точно он сейчас вылез из воды; он несколько секунд не мог ничего выговорить, сухие губы шевелились без всякого звука, и он как-то судорожно дергал руками, напрасно что-то стараясь объяснить.

— Да что с тобой, Евстигней? — спрашивал Мухоедов. — Откуда ты?

— Да он совсем очунел: слова от него нельзя добиться! — тараторила Фатевна; из-за ее спины выглядывали заспанные лица Фешки,

Глаши и Галактионовны.

— Казинет Петрович... родимой мой... убили!.. — трясясь всем телом, проговорил, наконец, Евстигней.

— Кого убили?!.. — вскричал Мухоедов, побледнев как полотно.

— Гаврилу Степаныча застрелили...

— Кто?.. Когда?.. Где?..

— Да на Половинке... легли мы спать... как он запалит... я вскочил... барыня без ума ко мне... а в спальне Гаврило Степаныч лежит... кровь из него так и хлещет... из боку... как запалит!..

— Сам, что ли, он выстрелил в себя?

— Какое сам... из лесу... в окошко... как запалит!

Мы несколько секунд стояли, как пораженные громом; первым опомнился Мухоедов и подробно принялся расспрашивать старика, но последний ничего не мог сказать больше того, что сказал, и прибавил только, что барыня послала сказать ему. Старик плакал, крестился и шептал:

— Господи Сусе... Пресвятая троица... Как запалит, а кровь из боку так и хлещет!

Мухоедов, закусив губу и опустив глаза, стоял несколько минут, а потом, хлопнув себя по лбу, торопливо заговорил, обращаясь ко мне:

— Ты сейчас садись на лошадь Евстигнея и валяй на Половинку что есть мочи... Лошадь старая, дорогу знает; ты только понужай. Евстигней останется здесь и повезет доктора... Фатевна, седлай всех своих лошадей... Мне нужно остаться пока здесь, а потом я приеду.

Мне оставалось только согласиться; мы вышли на двор, дождь лил по-прежнему, ветер выл, как сумасшедший; старый Рыжко, понурив голову, стоял непривязанный у ворот и тяжело дышал. Седла не было, но дело было настолько спешное, что о нем и думать было некогда. Мухоедов помог мне взобраться на лошадь и по пути шепнул:

— Это дело «сестер»; мне нужно сейчас же, по горячему следу, накрыть их и сделать обыски...

Бабы, как угорелые, метались по двору, кричали и выли; я надвинул крепче шляпу на голову, ударил Рыжка поводом по дымившимся бокам, и мы пустились на всех рысях в

далекий путь. Я плохо помню эту роковую дорогу; как сквозь сон помню только, что меня страшно трясло, и я напрягал все силы, чтобы не свалиться с лошади; рука, которой я держался за гриву лошади, совсем оцепенела, шляпа где-то свалилась, и я не чувствовал, что дождь на двух верстах промочил меня до костей. Кругом стояла египетская тьма, в двух шагах решительно ничего не было видно, и я во всем положился на инстинкт моего коня; не помню, сколько времени я ехал, но, наконец, вдали мелькнул слабый огонек, Рыжко прибавил шагу, огонек приближался, вот и речка, верный конь прыгнул через нее с несвойственной его летам энергией. Вбегаю на крыльцо... ни одного звука. В спальне на полу лежит что-то белое, и над этим белым на коленях стоит Александра Васильевна; она не слыхала, как я вошел, и только мой голос вывел ее из оцепенения; она не плакала, казалась спокойной, но какая-то бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах! Я никогда не забуду этого покорного выражения, которое красноречивее всяких обмороков, истерик, криков и воплей.

— *Они* убили его... — прошептала Александра Васильевна, не поднимаясь с колен.

Из ее бессвязного рассказа я понял следующее: часов в одиннадцать вечера, когда Гаврило Степаныч натирал грудь какой-то мазью, она была в кухне; послышался страшный треск, и она в первую минуту подумала, что это валится потолок или молния разбила дерево. Вбежав в спальню, она увидела, что Гаврило Степаныч плавал в крови на полу; он имел еще настолько силы, что рукой указал на окно и прошептал:

— Саша... они меня убили... прощай!

Я подробно осмотрел сделанное пулей отверстие в стекле; окно было завешано двумя белыми занавесками, которые не сходились плотно и образовали широкую щель, вот в эту щель и был сделан выстрел. Пуля вошла в левый бок, немного позади сердца, рана была безусловно смертельна; Гаврило Степаныч лежал на правом боку, одна рука была откинута в сторону, другая придерживала рану; лицо покойного было сине, зубы стиснуты, глаза полузакрыты. Достав фонарь, я пошел осмотреть избу кругом — никаких следов,

только один лес глухо шумел под напором ветра да где-то дико вскрикивал филин; вернувшись в комнату, я нашел Александру Васильевну в передней избе, она стояла у письменного стола и, обернувшись ко мне, указала рукой на листик почтовой бумаги, на котором было начато письмо.

— Это *он* вам... вчера... писал... — прошептала Александра Васильевна, и только теперь глухой стон вырвался у ней из груди, и она зарыдала, схватившись за голову.

Это письмо — первая вещь, которая привела ее немного в себя и к сознанию той пустоты, которая окружила ее так внезапно; я усадил ее на диван, принес холодной воды, просил успокоиться, но какое значение имеют слова утешения, когда сердце разрывается на части. Я отлично сознавал полную бесполезность моих утешений, но продолжал высказывать их; Александра Васильевна прислушивалась только к звуку моих слов, их содержание было недоступно ее подавленному мозгу.

— Нет... нет его больше... — шептала она, ломая руки. — А как он любил всех!.. Сколько

добра желал всем... а они убили его... как дикого зверя убили!.. Зачем не убили меня вместе с ним?!.. Нет больше моего счастья... Мы вчера еще говорили о вас... он писал вам вечером это письмо... Убили, убили!..

Послышался грохот подъехавшего экипажа и голос Евстигнея, который говорил кому-то: «Пожалуйте сюда, вот в эту дверь!» Это были пеньковские доктора. Я провел их в комнату, где лежал убитый, и по дороге старался объяснить им, что Гаврило Степаныч не нуждается в их помощи, а что им нужно для составления протокола подождать приезда следователя, за которым в Нижне-Угловский завод послан нарочный. Александра Васильевна вошла за нами и молча остановилась в дверях; доктор наклонился над убитым, открыл простыню, которой он был прикрыт, и внимательно принялся рассматривать запекшееся черное отверстие.

— Наташа, посмотри! — вскрикнул доктор, поднимая голову. — Скорее...

— Он жив... он жив?! — вскричала Александра Васильевна.

— Ах, нет, рана безусловно смертельна, и

он давно умер, — успокаивающим тоном проговорил доктор. — Наташа, посмотри, какое направление приняла пуля: скользнула по краю ребра и прошла по задней стенке сердца...

Александра Васильевна поняла, что от любимого человека остался только предмет для анатомических исследований, но все чувства заговорили в ней против этого, она своим телом заслонила убитого и прошептала:

— Господа, оставьте... прошу вас...

— Мы хотели исследовать рану...

— Оставьте... Вы не поймете теперь меня... после... Нет, не то... оставьте!..

Я отвел врачей в сторону и уговорил их подождать следователя; врачи не понимали поведения Александры Васильевны и, по-видимому, были обижены им.

— Я не понимаю, почему она не хочет, чтобы исследовали рану, — говорил доктор, — ведь он умер, он ничего не чувствует... труп.

— Он умер, но пожалейте ее, — объяснял я, — для нее он еще не умер... дайте ей прийти в себя, она не знает, что делает.

— Странно! — пожимая плечами, говорил

врач.

— Стоило ехать за этим двадцать верст, — зевая, ворчала женщина-врач. — Предрассудки!..

Часов в девять утра прискакали две телеги, конвоируемые Фатевной, которая приехала верхом без седла; первой телегой правил Мухоедов, в ней спал мертвым сном Цыбуля, судебный следователь. Вторая телега была набита понятыми и полицией. С Цыбулей пришлось отваживаться при помощи нашатырного спирта и холодной воды, потом выпоить ему целый графин водки, и он только после этих довольно длинных операций настолько пришел в себя, что мог начать производство судебного следствия; по наружности это был представитель хохлацкого типа — шести футов роста, очень толстый, с громадной, как пивной котел, головой и умным, то есть скорее хитрым лицом, сильно помятым с жестокого похмелья. Он двигался крайне медленно и равнодушно смотрел кругом своими узкими ленивыми глазами, совсем опухшими от беспросыпного пьянства. Меня он совсем не узнал, хотя мы учились с ним на одном курсе

и имели когда-то шапочное знакомство. Мухоедов выходил из себя, пока совершалось приведение в нормальное состояние Цыбули; он без церемоний ругал его, а потом, отведя меня в сторону, таинственно сообщил:

— Цыбуля хотя и пьян, лыка не вяжет, а хитер, как легион бесов... Мы напали на след; вот он с радости и нахлестался дорогой!

— А что «сестры»?

Мухоедов почесал затылок и с недовольной миной проговорил:

— Вот в том-то и секрет, что «сестры» пока еще ничего; мы были у них, застали спящими, никуда не выходили с вечера. Ну, да это пустяки, Цыбуля доберется и до них.

— Какой же вы след нашли?

— Какой след? А вот какой: когда мы сделали обыск у «сестер» и ничего не нашли, мы сейчас в заднюю избу к Прохору Пантелеичу, к Коскентину и Фильке... Помнишь?.. А их, голубчиков, и дома нет; положим, что это по их должности очень естественно, но штука в том, что мы только что хотели ехать сюда, Филька и приезжает домой, мы его и сцарапали. С первых слов видно, что это его рук дело:

побелел весь, начал путаться в показаниях, а главное — приехал без ружья. «Где ружье?» — «В починке...» Ну, знаем мы эту починку, сейчас к мастеру, на которого он сослался, а у мастера этого ружья, конечно, не оказалось, — словом, запутался совсем и в ногах валяется, а виновным себя не признает. Засадили его в темную, а сами сюда.

Мухоедов долго не решался войти в комнату, где лежал убитый и где сидела Александра Васильевна все время, пока мы отваживались с Цыбулей; увидав входившего Мухоедова, Александра Васильевна тихо заплакала. Бедный Мухоедов зашатался на ногах при виде убитого, крупные слезы так и покатились из его глаз; он закрыл лицо руками и убежал на крыльцо, где долго рыдал, присев на ступеньку. Наступила тяжелая сцена судебного следствия и составления протокола; Цыбуля, врачи и понятые битых два часа ходили по избе и около нее и, конечно, ничего не могли найти. Фатевна принимала самое деятельное участие в этой церемонии и вместе с Цыбулей ползала на коленях по мокрой траве и обнюхивала каждую щель. Цыбуля очень долго ис-

следовал место, с которого был сделан выстрел, но все было тщетно, — ни одного следа, кроме помятой травы, ни одного намека. После осмотра и медицинского свидетельства раны был сделан допрос свидетелей, которых было всего двое — Александра Васильевна и Евстигней. После этого Цыбуля опять ходил по избе и около нее, мерял, высчитывал, записывал что-то в записную книжку и кончил тем, что, обратившись с озабоченным лицом к Александре Васильевне, серьезно заговорил:

— Преступление несомненно, но нет ли у вас, Александра Ивановна...

— Александра Васильевна, — поправил я его.

— Да, да, виноват: Александра Васильевна, действительно Александра Васильевна... Помню, да, помню. Извините... Следы преступления скрыты с замечательным искусством, но не теряйте надежды, Александра Ива... то бишь, Александра Васильевна! Нет ли у вас... гм!.. Нет ли у вас...

— Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений

на кого? — помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цыбуле.

— Нет, не то...

— Других свидетелей?

— Нет... Нет ли у вас водки, Александра Васильевна?

Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавна, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну; водка нашлась, Цыбуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми; часов в одиннадцать прискакал Муфель в сопровождении Ястребка и других заводских служащих.

— А шерт возьми!.. Швин... канайль! — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избу; в сенях он встретился с Александрой Васильевной и крепко пожал ей руку. — Это ушасно... Мой все разберет!.. Ви не проливай слес...

Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека — может

быть, сказалась в нем добрая немецкая натура или уж в известные критические моменты и в дураке пробивается искра человеческого чувства.

Последними приплелись о. Андроник и Асклипиодот, оба верхами на самых жалких клячах; о. Андроник ехал с своей длинной поповской палкой в руке, Асклипиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилом и свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него; он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение о. Андроника пришлось ей больше всего по душе, и она в каком-то детском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы.

— Не плачьте, днем раньше, днем позже все там будем... Бог все видит: и нашу правду, и нашу неправду... Будем молиться о душе

Гаврилы Степаныча... Хороший он был человек! — со слезами в голосе глухо заговорил о. Андроник и сморгнул с глаза непрошеную слезу. Меня поразила эта перемена в о. Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему; он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика.

— Батюшка... я думала, что умру... сойду с ума! — шептала Александра Васильевна.

— Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости, — продолжал о. Андроник. — Вспомните, что сказал Иов: «Господь даде, господь отъя — не возропщи, душа моя».

Через полчаса в передней избе, на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврило Степаныч; его небольшая голова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами; о. Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, Асклипиодот прижался в угол. Началась лития.

— О блаже-еннн-ом успении новопредстав-

ленного раба твоего... и сотво-ори-и ему ве-е-ечную па-амять! — речитативом затянул о. Андроник немного дрогнувшей октавой.

— Ве-е-ечная память... — пел своим удивительным баритоном Асклипиодот, совсем спрятавшись в угол. Восковые свечи горели тусклым красным пламенем; дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса... Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на Половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо, а потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны; убитый, бледный Мухоедов стоял в углу, рядом с Асклипиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дрожащим голосом подхватывал «вечную память». Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались; Цыбуля и Слава-богу сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому

что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшие друг другу и пальцами указывавшие на Александру Васильевну.

— В самое сердце запалил, — говорил какой-то обдерганный мужик. — Из турки, надо полагать, двинул...

— Наскрось пуля-то прошла, — отвечал другой.

Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли, в душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить Половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на

своем рабочем столе, пригвожденный к нему мертвым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы, изможденном теле, была прервана, и детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела... вон оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами... вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда... вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу, не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастьями!..

«О, люди-звери, люди-звери! — думал я. — Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, чтобы он искупил ей свою любовь к людям...»

Пред моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я... Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник, волнами ходил дым

ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение! Как живая стояла предо мной сцена нашего прощанья... «Скоро увидимся...» Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из-за этого бревна убить человека. «Сестры» подвели... но уж если они захотели бы подвести, то, наверно, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом — все было неясно, сбивчиво, темно и вдобавок ко всему этот пьяный Цыбуля с Муфелем, это назойливое любопытство... Только одни о. Андроник и Асклипиодот были хороши, первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем; Александра Васильевна больше не плакала, она стояла с восковым лицом и машинально делала то, что делали другие: крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке.

В течение трех дней я и Мухоедов не выезжали из Половинки. Асклипиодот читал над

покойником, когда он уставал, мы сменяли его; о. Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал; его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал; все соседи подтвердили последнее показание, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этим известием и, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цыбули, который хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем.

К довершению всех бед на Половинку явились три племянника и две племянницы Гаврилы Степаныча, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но, в ответ на ее любезность, они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васи-

льевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников, и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и с дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами сообщил мне:

— Представь себе: они явились за наследством и намерены пустить Александру Васильевну по миру... Как это тебе понравится? Это в благодарность за то, что Гаврило вывел их в люди десятилетним трудом... О подлецы, подлецы! Да это еще ничего, они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества... Это какие-то разбойники, а не люди!..

Мне и Мухоедову стоило большого труда уговорить молодых людей отложить опись имущества до похорон; племянники, очень приличные молодые люди, долго не сдавались на наши просьбы и все упирали на то, что имущество может потеряться. Особенно крепко держался старший племянник, и Мухоедов до крови кусал губы, чтобы удержать-

ся и не наговорить этому господину дерзостей, чем он мог испортить все дело.

— Ведь Гаврило Степаныч воспитывал вас всех, — усовещал Мухоедов наследников. — Александра Васильевна теперь в таком положении... ведь она не чужая вам, пожалейте вы ее!.. Неужели так трудно подождать несколько дней?.. Всего несколько дней!.. Имейте же совесть, господа!

— Мы не без совести, — объяснял старший племянник, — мы очень любили дяденьку и всегда чувствуем к ним благодарность, а так как у них не осталось завещания, поэтому мы в своем праве... Да-с. Тетенька сами по себе, мы сами по себе; они свою четвертую часть получат сполна-с... Нам даже очень жаль дяденьку, а как они без завещания померли, мы в своем праве.

После долгих ломаний и увещаний племянники согласились, наконец, отложить опись до похорон; Александра Васильевна поняла сразу и цель их приезда и цель наших таинственных совещаний. Однажды, когда в комнате не было племянников, зорко следивших за каждым движением тетеньки, она об-

ратилась ко мне:

— Передайте, пожалуйста, наследникам, что я не утаю ничего... Даже отказываюсь от своей четвертой части... Бог с ними! Я любила Гаврилу Степаныча слишком сильно, чтобы тревожить его память этими грязными расчетами... Я думала взять книги и рояль, но... как это мне ни трудно, я отказываюсь от всего наследства, какое мне следует по закону.

— Вот это так женщина! — в раздумье говорил Мухоедов, когда я передал ему решение Александры Васильевны. — Это, брат, человек...

Три тяжелых и мучительных дня, наконец, прошли; на Половинку привезли черный гроб, явился о. Андроник в сопровождении нескольких любопытных, в том числе Яши, который имел обыкновение провожать всех покойников.

Было светлое осеннее утро, когда мы вынесли черный гроб из избы и поставили на телегу; Рыжку предстояло в последний раз везти своего хозяина в далекий путь. Яша, в рваном полушубке и с босыми ногами, без шапки, с блуждающими добрыми глазами и

длинной палкой в руке, суетился, кажется, больше всех: помогал выносить гроб, несколько раз пробовал, крепко ли он стоит на телеге, и постоянно бормотал:

— Убили... Иваныча убили!.. Сорок восемь серебром... убили... Я приказываю... Иваныча посадили в тюрьму... Иваныч стрелял...

Когда печальная процессия двинулась по дороге, Яша шел далеко впереди, сильно размахивал руками и громко пел «вечную память»; мы с о. Андроником и Асклипиодотом несколько верст шли за гробом пешком; пение «Святый боже...» далеко разносилось по лесу, и было что-то неизъяснимо торжественное в этом светлом осеннем дне, который своим прощальным светом освещал наше печальное шествие. Лес осенью был еще красивее, чем летом: темная зелень елей и пихт блестела особенной свежестью; трепетная осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшею листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца; какие-то птички весело перекликались по сторонам дороги; шальной заяц вы-

скакивал из-за кустов, вставал на задние лапы и без оглядки летел к ближайшему лесу. Этот покой природы, мягкий свет осеннего солнца и мирные проявления жизни обитателей леса освежали расшатанные нервы, успокаивали наболевший мозг и как-то невольно наталкивали мысль на идею о вечности, с одной стороны, и бренности человеческого существования, с другой.

Церемония отпевания в церкви, затем картина кладбища и тихо опускавшегося в могилу гроба производила на нервы прежнее тупое чувство, которое оживилось только тогда, когда о крышку гроба загремела брошенная нами земля... Все было кончено, больше «не нужно ни песен, ни слез», как сказал поэт; от человека, который хотел зонтиком удержать бурю, осталась небольшая кучка земли да венок из живых цветов, положенный на могилу рукой любимой женщины.

Александра Васильевна сдержала слово и отказалась от своей части наследства, хотя мы с Мухоедовым и отговаривали ее от этого, потому что она оставалась без гроша денег, в одном платье, которое ей из милости остави-

ли почтительные родственники.

— Мне немного нужно, — говорила Александра Васильевна, когда я прощался с ней. — Поступлю опять учительницей куда-нибудь; обзаведусь помаленьку...

Когда я уезжал из Пеньковки, дело о розысках убийцы было в прежнем положении: никаких следов, ни малейшей «нити»; я простился с своими друзьями и с самым тяжелым чувством оставил, наконец, Пеньковку, в которой пережил столько хорошего и печального. Мухоедов по-прежнему держал себя самым странным образом, но я не имел желания разъяснять наши отношения.

Глава 8

Моя работа по статистике Пеньковского завода затронула несколько таких вопросов, для изучения которых нужно было опять отправляться в заводы Кайгородова, но теперь целью моей поездки был Нижне-Угловский завод, в который ехать приходилось через Пеньковку. Ровно через год, опять в конце мая месяца, я подъезжал к Пеньковскому заводу. Был солнечный день. Заводские домики, как старые знакомые, смотрели приветли-

во; вдали чернела фабрика; над ней точно висела в воздухе белая церковь, — все было по-старому, «как мать поставила»; мой экипаж прокатился по широкой улице, миновал господский дом, в котором благоденствовал Муфель с «будущей Россией», и начал тихо подниматься мимо церкви в гору, к домику Фатевны. Мне, собственно, не хотелось останавливаться у ней, но деваться было некуда; «не больно у нас фатер-то припасено», как говорил мне в прошлый раз старик на земской станции, значит все равно не миновать; домик Фатевны не изменился за год ни на одну иоту, и сама Фатевна встретила меня у ворот, как в прошлый раз, так же заслонила ручкой глаза от солнца и так же улыбнулась: дескать, милости просим.

— А ты опять к нам? — звонко заговорила Фатевна, взвалив на плечо мой чемодан. — А и то давеча кошка сидит на окне да лапкой умывается, я и говорю: «Знать, дева, гостей намывает...» У Галактионовны после спрашивала, — «верно», говорит.

— А Галактионовна жива?

— Скулит...

Мы поднялись на крыльцо, прошли темные сени и очутились в передней; в отворенную дверь в комнате Мухоедова я заметил какую-то даму, которая лежала с папиросой в руке на диване. Когда я вошел в комнату, она лениво поднялась с дивана и с ленивой улыбкой посмотрела на меня: это была Глашка, только уже не прежняя Глашка, бегавшая по двору в ситцевых платьях и босиком, а целая Глафира Митревна, одетая в зеленое шерстяное платье; густо напомаженные волоса были собраны, по заводскому обычаю, под атласный бабий «шлык», значит Глашка была теперь дамой.

— Штой-то, Глафира Митревна, вы все по диванам валяетесь, — с легким укором, но любовно заговорила Фатевна. — Вот гостя кошка давеча намывала... полно, дева, бочонки-то катать.

— Ужасти, мамынька, как ко сну клонит, — жаловалась Глафира Митревна, — а ты, мамынька, скажи Фешке насчет самовару...

— Ну, самовар-то я сама уж, дева...

— Капинет Петрович в заводе; я за ним

сейчас пошлю, — лениво говорила Глафира Митревна, обращаясь уже ко мне.

— Он все в этой комнате живет?

— Да-с...

Глафира Митревна вышла. Она очень пополнела и, как кажется, спала даже на ходу. Обращение с ней Фатевны, зеленое шерстяное платье, несмотря на летнюю пору, желание держать себя непременно «дамой». - все ясно показывало, что Глашка была теперь m-me Мухоедовой. Микроскоп стоял не на столе, как раньше, а на окне и был покрыт толстым слоем пыли; книги в беспорядке валялись в углу. На столе лежало несколько детских игрушек: деревянный солдатик с отломленной головой, бесхвостая лошадка, несколько измятых картинок из детской книжки. Значит...

— А мы тебя тут поминали, — заголосила Фатевна, появляясь в дверях с ребенком в руках. — Посмотри-ко, дева, чей это будет патрет? — проговорила она, подставляя мне к самому лицу хорошенького полугодового ребенка с большими карими глазами. — Весь в отца вышел; такой же глазастый из себя будет...

Ребенок был только что из колыбели и с любопытством смотрел на меня своими заспанными глазками; он действительно походил на Мухоедова, как две капли воды, — такой же белый высокий лоб и на самой макушке хохолок из мягких, как пух, желтоватых волосиков, какими бывают покрыты только что вылупившиеся из яйца утята.

— Узнал, Гаврюшка, барина? — спрашивала Фатевна, высоко подбрасывая ребенка кверху.

Фешка, краснея от натуги и того особенного волнения, которое неизменно овладевало ей в присутствии всякого постороннего «мущины», подала самовар и бегом бросилась к двери, причем одним плечом попала в косяк; явилась Глафира Митревна, и мы по-семейному уселись вокруг стола.

— А ты, дева, слышал про «сестер»-то? — спрашивала меня Фатевна, пестуя внука. — В Сибирь сослали, дева, в Сибирь...

— Как так?

— А за Гаврилу-то Степаныча... да, в Сибирь, дева!

— Да ведь тогда Филька в подозрении был?

— Филька ни при чем, — заговорила Фатевна, обрадованная тем, что я ничего не знал об этом деле. — Филька тогда же выправился, а потом пьяный и проболтался, что стрелял ружьем в Гаврилу Степаныча Коскентин. Сейчас следователь пригнал Коскентина в суд, а на суде Коскентин и повинился, что действительно он ружьем стрелял.

— А как же «сестер» в Сибирь сослали?

— А ты слушай... Когда на суде Коскентин повинился, ему и прочитали бумагу, что в каторгу. Коскентин стоит за решеткой, бледный такой, помутнел весь из лица-то, потом и спрашивает: «Значит, мне конец?» — «Конец», — говорят. Коскентин как заплачет, а когда его солдаты повели, он и сказал, что он не сам стрелял ружьем, а его подговорили «сестры», значит отец с Авдей Михайлычем. Ну, сейчас опять другой суд над «сестрами»; те заперлись во всем, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, слышь, понапрасну обнес их Коскентин... Так и не повинились, а Коскентин все и рассказал, как дело было, ну, «сестер» по бумаге в Сибирь и назначили.

— А Филька?

— Филька живет в Пеньковке, барин барином, потому ему после отца-то все и досталось. Теперь в кабаке вином торгует: только больно, говорят, пировать стал... С Асклипиодотом связался, водой не разольешь. Жену бьет, страсть; а жена-то Коскентина в стряпках у Асклипиодота жила. Только тут у них одно дело вышло промежду собой, Филька оттаскал Асклипиодота за длинные-то волосы, судились у мирового судьи...

— С приездом честь имею поздравить... — закрывая рот рукой, заговорила своим тихим голосом появившаяся в дверях Галактионовна. — Вот, Фатевна, кошка-то намывала давеча гостей?.. Здравствуйте, Глафира Митревна!.. Как вы из себя-то похорошели... как бы только не сглазить.

Галактионовна осторожно поместилась в уголок и вопросительно посмотрела на меня своими детскими улыбавшимися глазками; она не изменилась в течение года ни на волос, хотя перенесла опять какую-то очень мудреную болезнь, о которой и спешила рассказать.

— А мы без вас здесь свадебку сыграли, —

как бы между прочим прибавила Галактионовна, — патрет с Капинета Петровича сняли, а к зиме, даст бог, другой поспеет...

Галактионовна скромно хихикнула своим мелким смешком в руку и мотнула головой в сторону Гаврюши.

— Экой язык у тебя, дева! — окрысилась Фатевна.

— А вот отцу Андронику с Асклипиодотом конец пришел. — не обращая внимания на восклицание Фатевны, заговорила Галактионовна, — отец Егор неприятность им большую сделал.

— Какую неприятность?

— А оченно просто: взял бумагу да на бумаге и описал все, да в консисторию и послал... Евгешка-то у отца Андроника совсем разума решилась; напилась как-то, надела на себя рясу, скуфью да по улице и пошла...

В это время в дверях показался Мухоедов, он остановился и по близорукости сначала не узнал меня; он сильно изменился, похудел, на лбу легло несколько мелких складок, и глаза смотрели с тревожным выражением. Узнав меня, он очень обрадовался, крепко пожал

мою руку и, схватив сына на руки, с каким-то торжеством проговорил:

— Обрати внимание на сие произведение природы... А? Великий человек будет in spe... [147] В честь покойного Гаврилы и имя дал.

— Леванидом моднее назвать, — лениво отозвалась Глафира Митревна. — Ах, мамынька, как меня ко сну клонит... Так клонит, ужасти! Капинет Петрович не могут этого понять, они даже на смех подымают, а я не могу...

— Вам бы, Глафира Митревна, променад сделать? — предлагала Галактионовна, желая щегольнуть иностранным словцом. — Или вот тоже в капустный лист голову завернуть — помогает...

Мухоедов кое-как выпроводил баб из комнаты, несколько времени смотрел в окно, а потом с виноватой улыбкой проговорил:

— Finita la commedia[148], братику... Неженивыйся печется о господе, а женивыйся печется о жене своей. Да, братику, шел, шел, а потом как в яму оступился. Хотел тебе написать, да, думаю, к чему добрых людей расстраивать... Испиваю теперь чашу даже до дна и

обтачиваю терпение, но не жалуюсь, ибо всяк человек есть цифра в арифметике природы, которая распоряжается с ними по-своему.

— Как это вышло? — спрашивал я.

— А вышло это, братику, очень просто, как нельзя проще... Летом, когда вы жили с Гаврилой на Половинке, я как-то выпил с отцом Андроником, и выпил так, сущую малость; пришел домой, лег было спать, а тут Глашка под пьяную руку подвернулась... Эх, тошно тебе рассказывать! Может, помнишь тогда, как я волком ходил... ну, вот тогда все сие и происходило. Даже некоторое колебание мыслей происходило... только душа не поднялась. Зачем, думаю, девку буду губить, видно, уж судьба моя такая. А тут Гаврюшка родился, я ожил... Родительские чувства объявились; воспитанием думаю заняться... Иногда тоска нападет, науку забросил, а как начинаю тонуть, — сейчас к Александре Васильевне. Золотая душа...

— Как она устроилась?

— Учительствует... школу открыла. Ты ступай к ней сейчас же... или я с тобой пойду... — Мухоедов замялся и покраснел. — Глафира

Митревна изволят ревновать меня, посему мне каждое посещение Александры Васильевны приходится покупать довольно дорого... И, заметь, я начинаю привязываться к жене. Конечно, глупа она свыше меры и зла, а взгляну на Гаврюшку, так сердце и упадет. Ну, пойдем, что ли. Мы к отцу Андронику завернем, — объяснял Мухоедов, когда вошедшая Глафира Митревна посмотрела на него вопросительно. — А ты тем временем проснись...

— Мимо не пройдите отца Андроника-то... — ядовито проговорила Глафира Митревна нам вслед.

Мы пошли вдоль улицы, на которую выходили домики «сестер»; один стоял с закрытыми ставнями, а в другом был открыт кабак.

— Вот что осталось от «сестер», — проговорил Мухоедов, указывая рукой на кабак. — Ты уж слышал всю историю?

— Мельком слышал от Фатевны.

— Да... Преказусная материя было вышла; целых полгода ни слуху, ни духу, а тут Филька сболтнул, явился следователь — Цыбули уж давно нет — и все на свежую воду вывели.

Константин сначала все принял на себя, а как объявили ему приговор, не вытерпел, заплакал и объяснил все начистоту. «Сестры», те из всего дерева сделаны, ни в чем себя виновными не признали... Крепкий был народ! Так и на каторгу ушли... На всякого, видно, мудреца довольно простоты!

Мы подошли к небольшому домику в три окна; небольшая полинявшая вывеска гласила, что здесь «Народная школа». В передней нас встретил Евстигней, который сосредоточенно ковырял кочедыком лапоть; старик узнал меня и заковылял в небольшую комнату, откуда показалась Александра Васильевна. Увидев меня, она улыбнулась и на мгновение отвернулась в сторону, чтобы вытереть набежавшую слезу.

— Как я рада... как рада, — шептала Александра Васильевна, не зная, как усадить нас в своей крохотной комнатке.

Это была маленькая комнатка, выходившая своим единственным окном на улицу; в углу, у самой двери, стояла небольшая железная кровать, пред окном помещался большой стол, около него два старых деревянных сту-

ла — и только. На стене висел отцветший портрет Гаврилы Степаныча.

— А я отлично устроилась здесь, — оживленно говорила Александра Васильевна. — Двадцать пять рублей жалованья нам с Евстигнеем за глаза... отлично живем. Школа идет порядочно, ученики, кажется, любят меня...

Евстигней подал самовар, и мы долго проговорили под его добродушный шумок, вспоминая Гаврилу Степаныча, его планы, жизнь на Половинке; эти воспоминания несколько раз вызывали слезы на глаза Александры Васильевны, но она перемогала себя и глотала их.

— Конь в езде, друг в нужде, — говорила Александра Васильевна. — Я так испытала на себе смысл этой пословицы... Сначала мне хотелось умереть, так было темно кругом, а потом ничего, привыкла. И знаете, кто мой лучший друг? Отец Андроник... Да, это такой удивительный старик, добрейшая душа. Он просто на ноги меня поднял, и если бы не он, я, кажется, с ума сошла бы от горя. А тут думаю: прошлого не воротишь, смерть не приходит,

буду трудиться в память мужа, чтобы хоть частичку выполнить из его планов.

Как ни хорошо устроилась Александра Васильевна, а все-таки, сидя в ее маленькой комнатке, трудно было освободиться от тяжелого и гнетущего чувства; одна мысль, что человеку во цвете лет приходится жить воспоминаниями прошлого счастья и впереди не оставалось ровно ничего, кроме занятий с детьми, — одна эта мысль заставляла сердце сжиматься. Точно угадывая мои мысли, Александра Васильевна с своей хорошей улыбкой проговорила:

— Пословица правду говорит, что вдова, как дом без крыши... Иногда жутко приходится. А ведь и мы не без планов: вот подрастет у Епинета Петровича Гаврюша, мы специально займемся его воспитанием. Только разве мамаша Гаврюши не захочет...

— Вздор! — отрезал Мухоедов. — Это не ее рук дело...

Мы долго просидели в комнатке Александры Васильевны, самовар давно остыл, мы начали прощаться с хозяйкой.

— Куда вы торопитесь, господа! Впрочем,

вам, может быть, нужно идти куда-нибудь, — грустно проговорила Александра Васильевна.

Я объяснил ей, что остановился в Пеньковке только проездом и завтра рано утром выеду в Нижне-Угловский завод; когда мы вышли от Александры Васильевны, Мухоедов отправился домой, а я пошел проведать о. Андроника, которого мне очень хотелось видеть. Его домик был в двух шагах от школы Александры Васильевны; подходя к нему, я издали слышал оглушительный лай собаки, рвавшейся на цепи. В небольшую щель, образовавшуюся в тыну, мне отлично была видна такая картина: на лесенке крыльца сидел в одном жилете сам о. Андроник, он был немного навеселе и улыбался своей широчайшей и добродушнейшей улыбкой; посредине двора нетвердыми шагами ходил Асклипиодот, сильно заплетаясь в своем бесконечном подряснике цвета Bismark-furioso.

— Хорошо... хорошо... а я могу укротить вашу собачку, отец Андроник, — говорил Асклипиодот.

— Врешь, братчик... А ну, попробуй!

— Могу, отец Андроник.

Асклипиодот со смелостью вполне пьяного человека пошел к громадной желтой собаке, которая дико металась у своей конуры на длинной цепи; собака на мгновение было притихла, но в следующую минуту, когда Асклипиодот хотел ее погладить, она сначала схватила его за руку, а потом за полы подрясника. Асклипиодот не удержался на ногах, упал, собака, как бешеная, принялась его рвать; о. Андроник вскочил с своего крылечка, подбежал к самому месту действия и за ноги оттащил своего друга от вывшей собаки. Когда я отворил калитку, Асклипиодот, как ни в чем не бывало, поднимался с земли и, показывая укушенную руку, говорил:

— Перст укусила ваша собачка, отец Андроник... перст...

— Ты — чистый дурак, братчик! — гудел о. Андроник.

— Хорошо... хорошо... ваша собачка меня укусила... хорошо, а я могу ее укротить, отец Андроник.

— Она тебя, как петуха, загрызет...

— Здравствуйте, отец Андроник! — проговорил я.

Старик оглянулся и как-то радостно вздохнул, причем под жилетом у него что-то заволновалось, точно там под ситцевой розовой рубашкой была налита вода; он благословил меня своей десницей и облобызал.

— Отец Андроник, благословите... — лепетал Асклипиодот, просовывая свою яйцеобразную голову между нами и складывая руки пригоршнями, точно он хотел умываться.

— На хорошее бог тебя благословит, а на худое сам догадаешься...

Мы прошли в маленькие комнатки о. Андроника; вдали мелькнула какая-то женская фигура, вероятно, это была Евгеша, сам о. Андроник на минутку удалился в какую-то темную комнатку, откуда он вернулся уже в казинетовом подряснике, с графином водки в одной руке и с бутылкой в другой. Асклипиодот даже крякнул при виде этой посудины и далеко вытянул свою тонкую шею; он все время был занят своим перстом, укушенным собачкой о. Андроника.

— Плохие времена, братчик, — с тяжелым вздохом проговорил о. Андроник, принимая от какой-то невидимой руки тарелки с «сухо-

ястием», сиречь закуской.

— Что так, отец Андроник?

— А так, братчик... Егорка, «ни с чем пирог», механику подвел под нас с Асклипиодотом, — немного печально заговорил старик, наливая рюмки, — вкусимте, братие, по единой...

Когда мы выпили по рюмке водки, о. Андроник, хлопнув меня по плечу, заговорил:

— Ведь Егорка-то все описал... Ей-богу!

— Поссорились?

— Была маленькая причина... да, была! — с тяжелым вздохом заговорил старик. — Я-таки добрался до него... Да. Как-то на именинах у Павла Григорьича собрались мы все... выпили, калякаем. Приходит Егорка; понюхал носом какого-то заморского вина, а сам меня наблюдает, в каком я градусе. Обидно это мне показалось, братчик... «Ах ты, думаю, Иуда Искариотский». А сам подошел к нему да как лизну его по уху, он так и покатился по полу... Не помню, братчик, как это и вышло... совсем не помню! А Егорка сейчас в консисторию и настрочил... все описал, шельма: и как я его в ухо лизнул, и как у меня Евгеша за козлухами

ходит, и как я водкой кропил, и стихи Галактионовны, которыми она меня описала, к прошению приложил... Плохо, братчик! И Асклипиодота приплел.

— А вас за что? — спросил я улыбавшегося дьячка.

— Напрасно... — заявил Асклипиодот.

— Оно, братчик, не совсем напрасно... — подмигивая левым глазом, басил о. Андроник. — У тебя тоже, братчик, рыльце в пушку...

— Хорошо, отец Андроник... Вы говорите, что у меня рыльце в пушку... Хорошо! А отец Георгий напрасно...

— И про Фильку напрасно?

— Хорошо, отец Андроник... Действительно, я отпевал Галактионовну и вечную память ей пел... Это все верно отец Георгий описал... Хорошо! Видите ли, — заговорил Асклипиодот, обращаясь уже ко мне, — когда Коскентина присудили в каторгу, его супруга некоторое время жила у меня в качестве служанки... Хорошо! Раз я возвращаюсь от отца Андроника... Хорошо!.. Попадается Филька и прямо меня по уху... Хорошо! «Зачем, говорит,

ты Коскентиновой жене хвост куфтой подвязал?» То есть он намекнул, что я поступил со своей служанкой, как Авраам с Агарью... Хорошо!.. Что она у меня живет, яко наложница... Хорошо! Я к мировому судье; мировой судья засадил Фильку на две недели в темную, а отец Георгий все это описали и донесли в консисторию, чтобы сконфузить меня... Хорошо! Правильно отец Георгий поступили со мной?..

— А вперед наука, братчик... Может, ты и в самом деле хотел шилом патоки... О-ха-ха-ха!.. Егорка нам теперь и смажет салазки-то... Ну, да мне наплевать, братчик, пора костям и на покой... С голоду не умру: домишко свой есть, деньжонок малая толика в кубышке лежит — чего мне больше, старику.

— Ну, а мы тут без вас окрутили Епинета-то Петровича, — заговорил о. Андроник, переменяя разговор. — Только жена-то у него того... как моя хина: есть да на яицах сидеть. Теперь уж дела не поправишь, а жаль... Глупа уж больно Глафира-то Митревна, свыше меры глупа, а Епинет Петрович свыше меры прост. Да и Фатевна... Эх, немного бы погодить надо

было!

— А что?

— Да как вам оказать... Конечно, на все воля божия, ни единый влас главы нашей не упадет без его воли, а все как раскинешь умом... У Епинета Петровича еще летом делишко склеилось, а кабы до осени обождать — тогда, может, и другое что образовалось. На все воля божия...

— Что другое-то, отец Андроник?

— Как тебе сказать-то это?.. Гаврило Степаныч, конечно, был хороший человек, и пострадал он невинно... Только, братчик, все мы люди — человеки.

Я решительно ничего не понимал в этом наборе слов; о. Андроник не решался высказать свою мысль прямо, и я спросил его, что он хотел сказать.

Отец Андроник повернул ко мне свое широкое скуластое лицо, красное и лоснившееся от выпитой водки, нервно расправил бороду и улыбнулся. Так как я и теперь ничего не понял, он заговорил совсем изменившимся голосом:

— Вы были у Александры Васильевны?

— Да, был.

— Гм... Женщина молодая, в соку, а житьишко ее самое плохое, хоть она и утешается своей школой. Школа школой, братчик, а человек человеком... Придешь к ней, посмотришь на нее, так слеза и прошибет другой раз. Чего она так-то будет жить ни богу свеча, ни черту кочерга... Бабенка еще молодая, а впереди ничего. Скажешь ей ласковое слово, так она молиться на тебя готова, а то не думает, что мне это ласковое слово ничего не стоит. Вот я приду к ней в каморку-то, ведь кошки за хвост повернуть негде, а я с брюхом своим едва продерусь в дверь-то... сяду и, грешный человек, всякий раз думаю, чтобы Епинету-то Петровичу жениться на ней!.. Ведь золотая душа, не чета Глашке-то! Я вот сам женился двадцати двух лет, через год овдовел, а теперь мне шестьдесят четвертый пошел — трудно, братчик, прожить век одному. И птица, и зверь, и козявка всякая...

Отец Андроник неожиданно замолк, отвернулся и кулаком вытер слезу.

— Мое-то уж все пережито, так по себе-то и другого жаль... Гаврилу Степаныча уж не под-

нять из могилы... Вон про меня что пишет Егорка-то: Андроник пьяница, Андроник козлух держит, а он был у меня на душе... а? Ведь в двадцать-то лет из меня четверых Егорок можно сделать... а водка, она все-таки, если в меру, разламывает человека, легче с ней. Вот я и пью; мне легче, когда она с меня силу снимает... Эх, да не стоит об этом говорить!.. Претерпех до конца и слякохся.

Поговорив с расчувствовавшимся стариком еще с полчаса, я оставил его домик; Асклипиодот, — покачиваясь на стуле, пел своим могучим баритоном: «Волною морскою скрывшего древле, гонителя-мучителя фараона...» Меня далеко проводили звуки этого пения, пока я не завернул за угол к пруду.

Еще издали, как я подходил к домику Фатевны, до меня долетал какой-то шум голосов и женский крик. Когда я вошел в комнату Мухоедова, мне представилась такая картина: сам Мухоедов, бледный и взволнованный, бегал по комнате, Глафира Митревна и Фатевна стояли в противоположных концах комнаты и кричали в два голоса. Заметив меня, Глафира Митревна с заплаканными глазами и сер-

дитым лицом ушла в другую комнату, но Фатевна не думала оставлять поле сражения и голосила на три улицы; в одном окне я заметил побелевший нос Галактионовны, которая занимала наблюдательный пост.

— Статошное ли дело, — кричала Фатевна, размахивая руками. — Разе это порядок? Женатый человек и таскается по чужим женам... разе это порядок?.. я мать?!..

— Умолкни, несчастная!.. — шептал Мухоедов, хватаясь за голову.

— Ты там прохлаждаешься у той, а Глафира Митревна прибежала ко мне и говорит: «Мамынька, я сейчас в воду...» Разе это порядок? Теперь взять дохтуров... Обстоятельные люди, как есть; намедни опять десять билетов купили, а билет-то ноне двести рубликов стоит. Вот это порядок, а не то что мы!.. У тебя дите... о нем теперь должен заботиться. Семой год теперь служишь на тридцати рублях, а мне писарь сказывал, что все оттого, что гордость свою соблюдаешь... Пошел бы к Муфелю да в правую ногу, глядишь, дева, жалованья-то и прибавили, а то бы в емназию учителем поступал. Писарь говорит, по две тыщи

жалованья платят в емназии-то...

Мухоедов схватил Фатевну за плечи, вытолкнул из комнаты и дверь затворил на крючок; он несколько минут бегал по комнате, как зверь в клетке, а потом, остановившись, проговорил с конвульсивной улыбкой:

— Видел?

— Видел...

— И это каждый день... Это какая-то тридцатилетняя война! Просто с ума, кажется, сойду.

— Отчего ты не уедешь отсюда?

— Куда?

— Поступил куда-нибудь на службу — и конец. Жену увез с собой, а Фатевна пусть себе живет здесь.

— Нет, не могу...

Мы сели к отворенному окну, у которого сидели год назад, и несколько времени молчали.

— Не могу, — еще раз проговорил Мухоедов.

— Почему?

— А видишь, в чем дело... Теперь моя песенка спета, влетел по уши, так я решил про

себя, что уж если не умел устроить собственную жизнь, так буду жить для других. Помнишь Гаврилу? Вот и пойду по его дорожке... Святое дело. Ведь живет же Александра Васильевна, а я проживу и подавно... Наше товарищество, кажется, укрепилось, «сестер» нет — теперь хорошая минута, чтобы открыть потребительную артель, и мы уж открыли ее неофициальным образом. Потом мне хотелось бы школу Александры Васильевны поворотить в ремесленное училище, составить на первый раз при ней библиотечку, музеишко, лабораторию... Понимаешь? Ведь это живое дело... Эх, жаль, что Гаврилы нет!.. А что касается моей семейной обстановки, то, право, мне кажется, и к аду можно привыкнуть. У моей достойной половины есть свои достоинства: она ленива, как черепаха, и ей скоро надоест сражаться со мною, а с Фатевной я приму меры строгости, задам ей как-нибудь перцу во вкусе Кита Китыча...

Мухоедов даже сам рассмеялся над своими словами и, повернув ко мне голову, проговорил:

— Ну что отец Андроник?

— Удивительный старик.

— А он не говорил тебе ничего о деньгах, которые на школу Александре Васильевне дает?

— Нет.

— И не скажет... не такой человек. Ведь сам предложил, а если разговор зайдет о школе, на смех подымет, пустяками зовет.

К окну, у которого мы сидели, подошел Яша, улыбнулся, махнул палкой и забормотал:

— Здорово, Иваныч... сорок восемь серебром... Я кабак на пруду выстрою... Приказал... Иваныч будет водку пить...

— И этого дух века заедает, — с печальной улыбкой проговорил Мухоедов.

— Жалованье, Иваныч... буду получать... Четыре недели на месяц, Иваныч... пятую спать!

В камнях

(Из путешествия по реке Чусовой)

Глава 1

Наш полубарок отвалил от пристани Межевая Утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше сшитое на живую нитку суденышко постоянно задевало за «таши», то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздрогнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие почеркивания, и разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука, и наше суденышко все вздрогнет, — кто-нибудь проговорит стереотипную фразу:

— Тише, хозяин дома!..

Наш полубарок представлял собой судно длиной сажен в десять и шириной около че-

тырех. На носу и корме были устроены легкие палубы, середина была открыта; медные «штыки», уложенные правильными рядами посередине и около бортов, издали представлялись поленницами каких-то коротеньких красных дров. Настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной; они имеют в длину 18 сажен, покрыты сплошной палубой и вмещают до 15 000 пудов груза, тогда как наш полубарок был нагружен всего 4 000 пудов штыковой меди. На середине нашего полубарка была устроена из рогож избушка водолива; около нее дымился очаг; у самого борта — льяло для откачивания из барки воды деревянным ковшом совершенно особенного устройства. На носу и на корме были прикреплены длинные бревна с широкими досками на концах — это «поносные» или «потеси», при помощи которых барку поворачивают в ту или другую сторону. Такая потесь представляет из себя громаднейшее весло, которое едва поворачивают пять человек. На задней палубе на большой скамеечке сидит обыкновенно сплавщик.

Две кучки бурлаков, стоявших у поносных,

казались издали грязным пятном, кучей лохмотьев, которые начинали шевелиться вместе с поносными, повторяя каждое их движение. На носовой палубе, у конца поносного, под «губой», по бурлацкой терминологии, стоял высокий здоровенный мужик в рваном рыжем зипунишке и какой-то невероятно сплющенной и заношенной кожаной фуражке. Его лицо, красное и рябое, освещенное всего одним глазом, принадлежало к разряду тех особенных физиономий, которые не забываются. Новенькие лапти на ногах и синие порты дополняли его костюм. Как-то странно было видеть это могучее тело облеченным в такие жалкие лохмотья. Неужели эти могучие, жилистые руки не могли заработать даже на приличный костюм? Нет, Федька Рыбаков не мог пожаловаться на свои заработки и частенько щеголял в плисовых шароварах, красной кумачной рубахе и пуховой шляпе, но все эти предметы как-то не могли удержаться на нем и очень скоро уходили в ближайший кабак. Рядом с Рыбаковым стоял молодой парень лет семнадцати. Поверх старенькой ситцевой рубашки у него была наде-

та только одна суконная жилетка, на ногах — лапти; его налитое розовой кровью лицо дышало здоровьем, а глаза так и блестели. На голове Васьки — так звали парня — была нахлобучена старая баранья шапчонка, из-под которой кольцами выбивались светло-русые кудри. Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков — утчане, то есть с Межовой Утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, — с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия. Нужно сказать, что Васька во всем копировал Рыбакова, который по всей Чусовой славился, как один из лучших бурлаков и как самая отчаянная голова. За ними у поносного стояли две девки, старик в войлочной шляпе и отставной солдат с щетинистыми усами и узенькими слезившимися глазками. Девки были в коротеньких ваточных кофточках, из-под которых выставлялись подолы высоко подобранных ситцевых сарафанов и белые шерстяные чулки. Одна, Лушка, курносая и рябая, посматривала по сторонам своими небольшими черными глазами и постоянно скалила белые

редкие зубы; другая, Степанька, рыхлый белый субъект, смотрела апатичным взглядом на все кругом и время от времени усиленно икала.

— Направо нос-от!.. Поддержи направо нос-от!!.. — скомандует на корме сплавщик Окиня, и эта серая кучка бурлаков метнется на палубе, как спугнутые птицы. Рыбаков стоит под губой — это довольно видный пост в бурлацкой иерархии, потому что сюда ставят только надежных рабочих, которые не спутают команды. Он без всякого напряжения придавит бревно книзу, поведет его в сторону и, высоко подняв губу кверху, держит ее в этом положении все время, пока бурлаки, краснея от напряжения, отводят бревно. Васька покраснеет, как рак, навалится плечом, и только доски говорят под его лаптями; девки налегают грудью, старик подхватывает с кряхтеньем. Солдат, по выражению Рыбакова, «финтюрит», то есть ленится, и, кроме того, постоянно сбивается в команде.

— Хуже бабы, правой руки не знает! — хриплым голосом замечает Рыбаков.

— Инвалид, одним порохом палит, — вто-

рит Васька, окидывая солдата подозрительным взглядом. — Крупа несчастная!

— А ты не собачься... — отзывается солдат. — Над землей-то ты не больно страшен, разве под землей тебе много осталось...

Лушка толкает локтем Степаньку и кокетливо закрывается рукавом кофточки; старик, кажется, безучастно относится к этой перебранке, но потом, сдвинув шляпу на ухо, замечает:

— Ну чего вы аркаетесь? Чего вам мало стало? Ах ты, господи милостивый...

На кормовой палубе, на первом плане, виднеется коренастая фигура сплавщика Окини. Он сидит бочком на низенькой деревянной скамеечке, заложив ногу на ногу. Ему на вид лет шестьдесят, но он выглядит еще молодцом. Кафтан из толстого серого крестьянского сукна ловко сидит на его широких плечах; из-под кафтана выбивается ворот пестрядевой толстой рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин, точно она растрескалась под действием солнечного жара и непогод. На ногах у Окини надеты кунгурские

сапоги, насквозь пропитанные дегтем. Маленькая, низенькая валеная шляпа сдвинута на ухо, и из-под нее режущим взглядом смотрит пара небольших серых глаз. Широкое лицо Окини, обрамленное небольшой русой бородкой, выглядит добродушно, и по его широким губам бродит неизменная улыбка. Из-за белых, частых зубов Окини так и сыплются бесконечные шуточки, прибауточки, пословицы и присказки. Даже в опасных местах Окиню не оставляет его неизменное добродушие. Плавать по межени, то есть когда вода в Чусовой стоит низко, составляет гигантский труд: на протяжении почти четырехсот верст нужно знать, как свои пять пальцев, каждый вершок, иначе барка будет садиться на каждой мели, на каждом таше. Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается все течение Чусовой и он помнит тысячи мельчайших подробностей ее течения, берегов и русла. Кроме реки, он в несколько часов должен изучить все особенности своего судна, потому что между барками, как и между людьми, громадная разни-

ца, хотя на первый взгляд они, кажется, ничем не отличаются друг от друга. Живая сила, которой располагает Окиня в данный момент, тоже должна входить в его соображения, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Большинство бурлаков знакомы Окине несколько лет, поэтому он только мельком взглянет на новичков, прищурится, и на барке, как у себя дома на печке.

— Эй, служивый, не надсаживайся больно-то! — покрикивает Окиня. — Пожалуй, с натуги спина заболит... Девоньки, груздочки молоденьки, помешивай!.. А ты, Федя, не больно, тово, на девок-то не заглядывай...

Бурлаки посмеиваются. Звонкий голос Окини вызывает на суровых, изветрелых лицах ряд улыбок. Но нужно видеть старика в трудных местах, когда приходится «перебивать струю», «отработывать от камня» или пробежать щукой под самым «бойцом». Он стоит на палубе, широко раздвинув ноги, кафтан распахнулся, голос крепчает, глаза остановились на одной точке.

— Родимые, не выдай!.. Корму поддоржи... Нос налево, нос налево! Сильно-гораздо нос

налево! Молодцы, нос налево!.. Навались, братцы... Шабаш нос-от!..

На корме подгубным Мамко, тоже утчанин, широкоплечий молодой парень с белокурой физиономией. Рядом с ним стоит небольшого роста, некрасивый мужик с редкой черной бородкой, Гаврилыч. За ним, рядом, стоят молодые парень и девка, Лекандра и Анка. Лекандра поражает своей мизерностью, особенно рядом с Мамком; это просто мусорный парень, как его называют бурлаки. Одет он в рваный зипунишко, лапти и меховую шапку. Рябое лицо Лекандры с узкими карими глазами более чем некрасиво; движения вялы, — вообще, как есть несуразный парень. По другую сторону поносного стоит сестра Рыбакова, среднего роста пожилая женщина с необыкновенно звонким голосом; рядом с ней прижался к бревну бывший заводский служащий Минеич. Жалко смотреть на его тщедушную фигурку, на которой, как на вешалке, болтаются отребья длиннополого суконного сюртука. За ним стоит заводская косточка, тагильский мастеровой Афонька. Можно им залюбоваться. Ему едва минуло

семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди, которая так и выпирает из-под разреза рубахи косоворотки; какое открытое, смелое лицо с прямым правильным носом и большими серыми глазами!.. Слегка рыжие волосы прикрыты обносками отцовской шляпы, на ногах стоптанные сапожишки, на шее донельзя заношенная косынка с измочаленными концами.

— Ты, Минеич, не изломай поносного-то, — шутит Окиня, подмигивая и причмокивая. — Пожалей хоть дерево-то, ежели себя не жалеешь, старый-немолоденький!..

— У нас свадьба, Окиня, — говорит Афонька, встряхивая волосами. — Вон Лекандру с Анкой водой не разлить... Точно их приклеили к поносному!

— А тебе завидно? — спрашивает Лекандра.

— Стал я глядеть на этакое косое дерево!.. — презрительно отзывается Афонька.

Анка, небольшого роста, смуглая, круглолицая девка, была бы, пожалуй, красивой, если бы ее не портил косой глаз. Одета она лучше других и держится постоянно около Ле-

кандры, потому что из одной с ним деревни. Эта парочка сосредоточивает на себе внимание кормовой палубы, и все изощряют на ней свое остроумие.

Когда я только что вошел на барку, бурлаки на первый раз показались какой-то безличной массой, из которой только после внимательного наблюдения выделились мало-помалу эти типичные физиономии, костюмы и характеры. Не прошло нескольких минут, в течение которых бурлаки оглядывали друг друга, как уже безмолвным соглашением выработалось то неуловимое общественное мнение, которое сказывалось во всем — в интонациях голоса, во взгляде, в движениях. Утчане, конечно, стояли на первом плане; они составляли ядро, их мнение брало перевес во всех вопросах; за ними выделились заводские: Афонька, старик в войлочной шляпе, Гаврилыч, Минеич. Остальные, как сброд, не пристали ни к кому, а так и остались сами по себе. Женщины вообще не шли в счет за исключением Степаньки, которая слыла любовницей Рыбакова, и поэтому над ней не смели подшучивать с такой откровенностью, как

над Анкой или Лушкой.

— Разве в бабе есть душа? — резонирует водолив Прошка, ужасный враг всех женщин. — В бабе пар, а не душа... Как все равно в курице. Потому им и цена такая: мужику до Левшиной дают восемь целковых, а бабе — четыре. Ежели бы я был сплавщиком, я бы всех этих баб за косу да в воду...

— Ишь, какой строгой, — замечает сестра Рыбакова. — В бабе пар, а в тебе што? Ты лучше расскажи, как тебя жена дома ухватом обхаживает... Поди еще теперя бока болят?

Прошка только крутит своей черноволосой головой и отмахивается руками. После сплавщика водолив — самое значительное лицо на барке, потому что, во-первых, на его ответственности весь груз, а потом он следит за исправностью судна, чтобы не было течи, не выпадала конопатка, не накоплялось много воды. Водолив нанимается обыкновенно до самого места назначения, барки и получает жалованье помесячно. Сплавщик и бурлаки оставляют барку в Левшиной, последней пристани на Чусовой, а водолив остается до сдачи металла. В случае, если бы барка разби-

лась или окончательно обмелела, сплавщику и бурлакам больше нечего делать, как только брести по домам, а водолив остается караулить. Поэтому в водоливы выбираются самые надежные мужики, особенно на барках с медью. Нет ничего легче, как взять двадцатифунтовую штыку меди и незаметным образом вынести на берег или даже спустить в воду, чтобы на обратном пути продать эту лакомую добычу. Водоливу приходится день и ночь следить за бурлаками, иначе он может жестоко поплатиться, потому что у него вычтут из жалованья за всякую недостачу меди.

Прошка был пробойный мужик, тертый калач и хаживал на барках водоливом до Петербурга. Благодаря этим путешествиям он уже вошел во вкус подлаживания под барина: умел угодить, прислужиться, чего совсем не было в Окине. Мне нужно было доехать на барке только до Кыновского завода, верст семьдесят, но Прошка сейчас же разгородил свой балаган на две половины и предоставил одну из них мне, как барину. Эта политика была очень незамысловата, но приводила в изумление бурлаков. Эти угрюмые создания

еще не освоились с тем типом барина, который дает на каждом шагу на чаек и на водку: для них барин являлся в образе караванного, исправника, приказчика и тому подобной грозу наводящей братии. Впрочем, я был очень благодарен Прошке за его любезность, потому что было очень холодно и вдобавок начинал накрапывать осенний дождь. Лежать в такую приятную погоду даже под прикрытием рогоженного балагана составляло истинное счастье, блаженство, сравнительно с положением несчастных бурлаков, которым приходилось стоять у поносного под открытым небом.

— Что же они не наденут ничего на себя? — спрашивал я Прошку, когда дождь смочил у всех рубашки и заставил Окиню застегнуть кафтан.

— Было бы чего надеть, барин...

— Неужели у них больше ничего нет с собой?

— Все на себе; в котомках хлеб да харчи. Разве у баб есть што-нибудь.

— Ведь холодно... Как они поплывут?

— Вот так и поплывут...

Оставалось только пожать плечами. Мне было холодно в теплом осеннем пальто, под прикрытием балагана, а там стояли люди в одних рубашках под холодным осенним дождем. Нужно заметить, что осень на Урале вообще стоит всегда холодная, а на воде еще холоднее, чем на берегу.

— Привышный народ, — говорил Прошка, являясь в балаган с медным чайником вскипяченной для чаю воды. — Им не впервой в одних рубахах плыть. Ну, да и на работе тоже греются... Водку берут другие.

Мне просто было совестно прохлаждаться чаем в балагане Прошки и возбуждать общую зависть этой роскошью. На одном плесе, где не было работы, я пригласил Окиню и Минеича, а остальным бурлакам пообещал водки в первой деревне, какую встретим на берегу.

Сплавщик пришел первым. Перекрестившись, он осторожно налил чаю на блюдечко и, отдувая пар, выпил стакана четыре. В широкую щель, которая образовалась между рогожами, он следил все время за берегом и время от времени командовал «ударить нос направо» или «поддоржать корму».

— Ему глаза завяжи, так проплывет, — говорил Прошка, кивая на сплавщика.

— Всяко, Прошь, бывает, — уклончиво отвечал Окиня.

— Мы где сегодня остановимся? — спрашивал я, потому что начинало уже вечереть.

— Зачем нам остановляться?

— Как зачем: ведь ночью не поплывешь здесь...

— Ничего, бог поможет, проплывем.

— Да ведь темно будет?

— По приметам сбежим... На камни будем глядеть.

Бурлаки никогда не говорят, что барка плывет, а непременно «бежит»; горы они называют камнями. Поблагодарив за угощенье, Окиня ушел на свою скамеечку, а вместо себя послал Минеича. На бедняка было страшно смотреть: это был скелет, обтянутый кожей. Все на нем было смочено до последней нитки. Худое, изможденное лицо смотрело таким страдальческим, губы посинели, кожа получила мертвенно-серый цвет. Тощая, жилистая шея была вытянута, пальцы на руках судорожно скорчились и даже почти почернели.

Мне показалось, что Минеич замерзал.

— Минеич у нас завсегда в худых душах, — шутил Прошка (на заводах выражение «в худых душах» равносильно нашему «при смерти»). — Ты которую путину ломаешь, Минеич?

«Сломать путину» — значит сплыть на барке.

— Пятый раз плыву, — отвечал служащий, принимая дрожащими руками стакан чаю.

— Вы раньше в Тагиле служили?

— Да, служил... Лет двадцать послужил, а потом отказали от службы.

— Что же, у вас семья есть?

— Как же, и жена и дети. Целых пятеро... Да, четыре девочки и один мальчик.

Минеич с жадностью глотал горячий чай. Его бесстрастный, взгляд оживился, и он только вздрагивал, когда струйка холодной воды пробегала у него по спине.

— Неужели вы никакой другой службы себе не нашли? — спрашивал я.

— Был несколько лет учителем, потом штегерем... Везде отказывают.

— Все водочка нашего брата в малодушие

производит, — резонировал Прошка, когда Минеич уплелся на палубу.

— Когда же бурлаки спать будут? — спрашивал я.

— По сменам спать будут. Вот приткнемся где-нибудь к огрудку или набежим на таш, тогда спи, сколько влезет. Или вот когда из камней бежим, за Камасиным места открытые пойдут, ветер как ударит — и стоишь дён пять в другой раз. В камнях и успеваем поскорее выбежать...

Глава 2

Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног — все это глухо отдавалось здесь,

как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать великанов, заполнили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выскакивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер. Вглядываясь в эту траурную зелень, глаз отыскивал и здесь оригинальную могучую красоту: свет и тени, резкие контуры и темные цвета складывались здесь в удивительную картину. Местами горы поднимались выше, лес редел, являлись обнаженные горные породы, где только редкие деревья лепились по трещинам и уступам, как солдаты, бравшие штурмом неприступную крепость. Вон в одном месте стройная, как девушка, молоденькая ель бойко взбежала на самый верх, но здесь точно ее встретили залпом, и она, как смертельно раненная, повисла на страш-

ной высоте. Можно различить даже узловатые корни, которыми молодое деревцо ухватилось за острые камни, и кажется, что это судорожно сжатые руки вросли в тощую, почву. В другом месте на выступе скалы укрепилось десятка полтора елей; они точно остановились здесь отдохнуть и с гордостью смотрят на товарищей, которые поднимаются к ним снизу. Вот раненое деревцо подхвачено руками товарищей; вот лежит несколько убитых; вот отступающий неприятель... Право, глядя на эти причудливые группы красивых елей, невольно олицетворяешь их, тем более, что эти деревья действительно ведут вечную борьбу за существование, за каждый вершок земли, за каждый луч света, за каждый глоток воздуха — между собой, со скалами, с бушующей внизу водой, с бурями, непогодами и глубокими северными снегами. Кое-где сверкает золотой листвой осина, подойдут к самой реке несколько скромных березок, высоко поднимется лиственница с широко распростертыми ветвями, встанут в сторонке несколько сосен и рябин — и опять ели заполоняют все кругом. Это их царство.

Некоторые скалы тянутся версты две, точно плывешь по узкой извилистой улице какого-то мудреного средневекового города.

На нижней части этих скал можно ясно видеть высоту весенней воды, которая поднимается иногда аршин на семь выше обыкновенного горизонта. Под некоторыми камнями, где течение реки суживается или река делает крутой поворот, вода поднимается еще выше, точно собирая все силы против своего главного врага. Теперь на мягком известняке можно видеть только грязные полосы.

Форма этих скал самая разнообразная, и можно только, удивляться, как еще держатся некоторые массы камней, — они уж наклонились и, кажется, готовы ринуться в реку, которая сосет их. В некоторых местах так и кажется, что эти скалы не игра слепого случая, а результат работы разумных существ: вот правильно заложенная стена, вот фундамент какого-то здания, угол дома, легкая башенка, смело поднятый свод... Иллюзия настолько сильна, что глаз различает даже отдельные кирпичи, из которых возведены эти дворцы, башни и стены. На вершине некоторых скал

лепится несколько почерневших и покосившихся крестов.

— Это что за кресты? — спрашиваю я у Рыбакова.

— А когда весной барка убьется под камнем и кто из бурлаков утонет, — вот и поставят крест на камне, — объясняет колосс.

Бурлаки под такими крестами снимают шапки и набожно крестятся. Ведутся разговоры, какая барка убилась здесь, почему, кто был сплавщиком, сколько утонуло бурлаков. Вспоминают разные случаи и приключения из собственной жизни. Лица оживляются, слышатся вздохи, иногда смех, потому что du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas[149].

— Когда я еще в учениках плавал, — рассказывает Окиня, встряхивая волосами, — чуть не потонул было. Ей-богу... Грех и смех! Барку гнал Гордей да под Молоковым ее и убил. Сила не взяла... А в те поры вода страсть какая высокая была. Весна вышла дружная, так все и поплыло. Ну, как мы наскочили на бойца, народ ошалел: кто котомку тащит из-под палубы, кто в лодку, кто за бревно, кто за доску... Каша кашей, а барка, как купчиха, так

и села в воду. А я еще от дедушки слыхал, што в лодку этаким делом ни-ни: зря друг дружку перетопят. Снял сапоги, выбрал досточку потолще и жду... А вода под Молоковым, известно, как в котле, кипит; убитую барку так дохлой кобылой по струе и несет. Страсть господня!.. Дело впервой, испужался до смерти... А тут еще народ в воде валандается, крик, стон... Плывет, плывет по реке бурлачек, захлестнет его валом — только и видел... Одни пузырьки по воде пойдут. А на барке с нами плыла одна баба. Она еще сватьей мне приходится... Ну, известно, бабье дело: совсем из ума вышибло, бегает по палубе, как овечка... Ах, думаю, пропадет, дура. «Сватья, кричу, держись за доску!» А она и слов уж не понимает, осатанела. Ну, я ее столкнул в реку, сотворил молитву да и сам за ней... А мою бабу, как редьку, так и повертывает в реке. Доплыл к ней, сунул ей доску: держись, мол. Сватья ухватилась, а доска нас двоих не держит. Что будешь делать? Сватью столкнуть с доски жаль, а самому утонуть неохота, да еще сапоги у меня в руках-то, тоже жаль своему доброму попущаться. Все-таки пожалел бабенку,

ослобонил ей доску, а сам сапоги в зубы да к берегу. Только этак аршина с два отплыл, оглянулся, а сватья со страху доску мою выпустила и опять редькой по реке-то... Ну, тогда в силе был, воротился, схватил ее за зипун и волоку к берегу... А сапоги все в зубах держу... жаль. Только моя баба как сгребется за меня, прямо за ногу: впилася в ногу, как щука, и шабаш... Не могу ее отцепить, и кончено. Ну, думаю, пришел мой конец: так ко дну и тянет, до берега еще далеко, а сватья меня не пущает. Опять сотворил молитву... Тут меня и просветил господь: как с сапогами-то да со сватьей нырну — она хлебнула воды и отпустила меня. Слава тебе, господи! Вынырнул; а сватья тонет уж, только ручка из воды выставляется. Я все-таки за ней... А сапоги все в зубах. Подплыл, схватил за волосы да на берег. И сватью выволок и сапоги соблюл. Откачали мы ее на берегу, я ей и говорю: «А ведь ты меня, такая-сякая, чуть не утопила...» «Ничего, говорит, не помню!» «Моли, мол, бога, что ты мне сватьей приходишься, а то не стал бы я нырять за тобой, как меделянский пес...» Наших в те поры человек шестнадцать утонуло.

— Со страхов, обыкновенно, друг друга и топят, — говорил Гаврилыч. — Мы этак же как-то плыли, а перед нами барка и убейся... Ну, народ, обыкновенно, в воде тонет. Глядим, двое прямо к бойцу же и плывут. Один было схватился рукой за веточку — уцепился, висит. А мы на них к бойцу так стрелой и пластаем, взарез... Уж близко было, сняли бы беспременно, а другой-то подплыл да его за ногу. Ну, оба в воду, сердяги... Так и потонули ни за грош... Я так полагаю, — прибавил Гаврилыч после небольшой паузы, — что это блазнит человеку, когда он тонет... Может, ему нечистая сила глаза отводит: кажется, поди, что плывет к мелкому берегу, а тут вдруг головой о камень.

— А вот спросите, как Прошка барку убил под Горчаком — камнем, — говорил Мамко. — Я тогда с ним плыл... Тоже напримались страсти-то. Барку вверх дном выворотило.

— Прошь, а Прошь, расскажи, — упрашивали бурлаки.

— Отвяжитесь, черти... Ну, убил так убил, — отвечал Прошка, помешивая что-то деревянной ложкой в чугунном котелке,

очень искусно пристроенном у самого огонька. — Вам какая забота?..

— Тогда с тобой служащий плыл? — спрашивал Окиня.

— Плыл. Какой-то уткинский.

— Ты его и утопил?

— Нет, он-то остался цел, а жена и четверо детишек тово...

— Захлестнуло валом?

— Не то штобы захлестнуло, а вроде как от своей глупости... Барку-то как бзданyло о боец — батюшки мои светы: светопреставление! Она, как лошадь, на дыбы... Ей-богу! Доски это летят, чугун, палубы, поносные, люди... А вода так и мелет, так и мелет. На верхней палубе была маленькая казенка[150] пригорожена, ребятишки у служащего в ней и сидели. Сам-то с женой стоял на палубе вместе со мной... Как это барка сорвалась к бойцу, жена-то у служащего в казенку, за детишками, а четверых где зараз вытащишь. В одну секунду барка моя на дыбы, мы с нее горохом так и посыпались в воду, а потом барка этак плечом, плечом да и выворотилась вверх дном. Да не оказия ли: пятнадцать тыщев пудов чу-

гуна было, точно вот кто схватил ее рукой да и переворотил!..

— Этакая силища у этой воды, братцы!..

— Бедовое дело, когда река играет...

— Ну, вылезли мы на берег, — продолжал Прошка, подбрасывая в огонь несколько поленьев: кто где!.. Как тараканы расползлись или вроде, если кошку за хвост в реку... служащий тоже выплыл, а барка вверх дном, пустая мимо нас плывет. Ни жены, ни детей... Как ударится, сердяга, о земь — тут и ума решился. Так в Пермь, в сумасшедшую больницу, и свезли.

— Да что ему за неволя была с караваном плыть?

— Да так сказывал, что трахтом до Перми надо было заплатить рублей двадцать, а тут даром довезут.

— Вот те и даром!.. А!

— Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие... Покорыстовался, а господь и нашел, — резонирует Гаврилыч.

— Ну, так, Гаврилыч, нельзя, — возражает Окиня. — Мало ли народу по реке плавает: может, грешный-то выплывет, а святой чело-

век потонет. Это уж не в наказание, а так, произволение божеское.

— Нет, Окиня, ежели кто грешный человек, — беспременно утонет. Взять собаку теперь...

— Ну, это другое дело, — решает Окиня. — Дай мне тыщу рублей, я и то не поплыву с собакой...

— По какой причине не поплывешь? — приставал Гаврилыч. — По той причине, что собака — все одно что черт... Нечисть и погань, одно слово. А грешный человек хуже пса...

— А если грешный человек покается, Гаврилыч? — спрашивает Минеич, прищуривая глаз.

— Да когда он успеет покаяться-то? Тут один секунд, и шабаш: только пузырьки...

— Ну, а если так: грешный человек видит, что барка на бойца бежит, он сотворит про себя молитву и раскается. Тогда как?

— Это ты, Минеич, правду сказываешь, — согласился Окиня. — Поэтому я пса никогда не возьму на барку... Пес разве может раскаяться? Может, в нем черт сидит, а он к тебе

идет и этак хвостиком виляет.

— Вот тоже если свистеть на барке... — нерешительно замечает кто-то.

— Свистеть — это совсем другое дело, — говорит Окиня. — От свисту ветер поднимается... Уж это верно! Ты, Минеич, хоть и был учителем, а этого не понимаешь... Верно тебе говорю.

— Да не может быть, — протестовал Минеич в качестве образованного человека.

— Этак-то вот по межени плыли мы в позапрошлом году с приказчиком одним, — рассказывает Окиня, болтая ногами. — Он вот так же: пустяки, говорит, старухи, говорит, наврали... Ходит этак по барке да посвистывает. Ну, думаю, свисти, только штобы после не плакать. Выбежали это мы из камней, пониже Камасина, и принял нас ветер, и принял, и принял... Две недели выстояли у берега. «Ну, говорю приказчику после, будешь еще свистеть?»

Бурлаки хохочут. Минеич служит мишенью для шуток и острот. Когда он пытается объяснить причины происхождения ветра, вся палуба помирает со смеху, и он смолкает.

Дождь продолжает идти, точно сверху сыплется мельчайшая водяная пыль. На передней палубе бурлаки приуныли. Только солдат и неугомонный Васька грызутся между собой.

— Молчи, кислая шерсть! — говорит Васька.

— А ты расскажи, как кислоту воровал? — спрашивает солдат.

Васька прославился тем, что однажды забрался на пристани в амбар и украл «кислоту». Он думал, что в бутылке водка или спирт. На беду, он еще упал дорогой, и ему жестоко обожгло все ноги. Вылежал в больнице месяца три, и теперь, как ни в чем не бывало, только посмеивается. Это обстоятельство сблизило Ваську с Рыбаковым, у которого он «в подрушных», как говорят бурлаки.

— Эх, соколы ясные, синички-сестрички! — весело покрикивает Окиня на приунывших бурлаков. — Не весь голову, не печалуй хозяина!

Но эти возгласы плохо ободряют продрогших, полузамерзших бурлаков. Вечер приближается, всем хочется согреться и соснуть. Бабы суетятся около огня и воюют с Прошкой

из-за дров и из-за котелка. Прошка, из любви к искусству, ругается с ними напропалую. Бурлаков занимает эта сцена.

— Лушенька, голубушка, котелком-то его по башке окрести!.. — советует Окиня. — Ну, еще разок...

Сплавщику очень хотелось бежать целую ночь, но бурлаки начали роптать и, наконец, совсем взбунтовались.

— Издохнуть, что ли, нам? — заворчал даже Рыбаков, который вообще был скуп на слова.

— А черт ли вам не велел одежу брать с собой?.. — ругается Окиня на палубе. — Нанимаются, а дошло дело — на попятный двор.

— По ночам мы не нанимались плыть, — возражает старик с передней палубы.

— Верно, верно! — слышатся голоса. — Хвататься, Окиня, пора... Собирай снасть, ребя... Кто на берег?

Плыть на берег со снастью, то есть с канатом, вызвались Васька и Афонька. Они сели в косную, куда сложили им канат, и отвалили к берегу.

— Тут за мыском сичас кедрик стоит! —

кричал Окиня, бегая по палубе. — А около кедрика пень, вот за него и закидывай снасть... Налево нос-от.

Хватка, то есть привал барки к берегу, — даже осенью «в камнях» довольно замысловатая вещь, потому что течение здесь довольно сильное и нужно много ловкости и уменья, чтобы остановить барку. Про хватку весной и говорить нечего. Тогда сплошь и рядом рвется снасть или перегорает огниво, то есть деревянный столб на корме барки, на который наматывается снасть. Дело в том, что когда конец снасти укреплен на берегу за дерево, нельзя закрепить снасть на огниве мертвой петлей, потому что или снасть порвется, или вырвет огниво. Чтобы предупредить это, начинают травить снасть, то есть обернутую вокруг огнива снасть понемногу выпускают, и барка останавливается постепенно. Нужно видеть, какая сила развивается здесь от трения снасти об огниво: часто огниво загорается, и снасть его перерезывает. Если канат лопнет, концами может убить несколько человек, чему и бывали примеры.

Я с любопытством следил за всеми подроб-

ностями происходившей хватки. Косная[151] быстро неслась к берегу. Прошка стоял на корме и разматывал снасть. Вот Афонька и Васька причалили к берегу, выскочили из лодки и вдвоем едва поволокли по траве тяжелый канат.

— Готово! — донеслось с берега.

Прошка ждал только этого слова и быстро навернул снасть на огниво. Барка вздрогнула, и канат натянулся, как струна.

— Трави снасть-то, трави! — орал Окиня. — Корму поддоржи...

Прошка спустил немного снасть, огниво задымилось. Барка, точно живая, сделала еще несколько усилий, но, сознавая их бесполезность, тихо, кормой подошла к берегу.

— Шабаш! — скомандовал Окиня; все сняли шапки и перекрестились.

Глава 3

Прошка был против того, чтобы «хвататься», потому что бурлаки пойдут непременно на берег, — чего стоит украсть полупудовую штыку. Когда бросали сходню, он стоял у борта и осматривал каждого, кто шел на берег. Скоро на берегу запылало несколько ко-

стров, около которых собрались кучки бурлаков. На барке остались: Гаврилыч, Минеич, старичок с передней палубы и сестра Рыбакова. Она варила теперь ужин и вообще играла роль хозяйки. Странное дело, даже на барке, среди этого отчаянного сборища и подонков общества, одно присутствие женщины вносило с собой теплый семейный характер и сейчас сглаживало те резкости, которые прежде всего бросались в глаза. Даже Прошка — и тот перестал ругаться, а сидя в тюках меди рядом с Окиней, терпеливо ждал варева. Впрочем, он зорко следил за берегом, и малейший шорох заставлял его вскакивать.

— Ведь и народец только, — ругался Прошка, — с живого кожу сдерут!..

— Ты, смотри, не сдери с кого, — спокойно заметила сестра Рыбакова; она держала себя очень степенно и плыла с исключительной целью «заробить» четыре целковых, то есть проплыть на барке, может быть, недели две да пройти обратно пешком верст триста.

— А ведь ты точно, Прошь, — говорил Окиня, подмигивая, — ежели тебе в лапы попасть, обломаешь...

— Освежую, как есть, — соглашался Прошка, скаля зубы.

Незамысловатое варево скоро было готово, и вся компания разделила его по-братски. Здесь все были равны и ели в каком-то благоговейном молчании, осторожно отламывая кусочки хлеба, чтобы не уронить ни одной крошки, и старательно облизывали свои ложки. Глядя на этот ужин, кажется, мертвый захотел бы есть, так все выходило аппетитно. Варево состояло из разваренной поземины [152] пополам с просом. Когда котелок был пуст, все усердно помолились на восток и поблагодарили хозяйку, которая одинаково ответила всем: «Свое кушали».

Окиня ушел спать в балаган к Прошке, Гаврилыч свернулся клубочком тут же у огонька, на медных штыках, подостлав под себя рогожку и сверху закрывшись старым зипуном. Прошка бродил по палубам и от нечего делать вполголоса ругал кого-то: ему приходилось не спать целую ночь и караулить металл.

— Уж не знаю, идти на берег или соснуть здесь, у огонька? — размышлял Минеич, улы-

баясь рассеянной, доброй улыбкой; он успел высохнуть около огня и согрелся варевом.

— А ты постой, — отозвалась сестра Рыбакова, мывшая в реке котелок и ложки. — У тебя на кафтане-то больно дыра велика... Сними, так я зашью.

— Будь такая добренькая, Савишна, — просил Минеич, снимая свою хламиду.

Савишна прибрала ложки и котелок, принесла из-под палубы свою котомку и добыла оттуда клубок ниток с иголкой и несколько лоскутков старого сукна и холста. Она широко растянула сюртук Минеича против огня и только покачала головой. Можно было подумать, что Минеич только что вышел из какого-то сражения, где его рубили саблями, кололи пиками и шальные пули рвали на клочья его одежду.

— Решето решетом, — проговорила Савишна, затрудняясь выбором зиявших перед ней дыр.

— Да, поизносился малость, — соглашался Минеич, с удивлением рассматривая свое одеяние.

Без сюртука, в старой, донельзя заношен-

ной рубашке и коротких холщовых штанинах, Минеич имел самый жалкий вид: ввалившаяся грудь, тоненькие ручки и ножки, сгорбленная спина и вытянутая тонкая шея являлись во всей своей непривлекательной видимости. Когда Савишна, наконец, выбрала самую опасную, по ее мнению, дыру и присела с иглой к огоньку, Минеич сел около нее на корточки и, подперев свою птичью головку высохшей рукой, с тупой покорностью совсем беспомощного человека внимательно следил за ее работой.

— Уж только эти и мужики: ничего-то у них толку нет, — думала вслух Савишна, быстро работая иглой. — Ведь вот прибежим, Минеич, в город, получишь ты целковых пять, — ну, и заведи себе одежонку.

— А назад, Савишна, с чем пойду? Ведь триста верст пешком.

— Ну, оставь целковый

— Дома жена, ребятишки... Им тоже надо.

— Так ты и принес домой жене денег... — покачивая головой, не в укор проговорила Савишна. — Ведь все до последнего грошика пропьешь в городе-то...

Минеич только поник головой, подавленный величием тех нужд и слабостей, из которых была соткана вся его мудреная жизнь.

— Все пропью... — глухим голосом проговорил, наконец, Минеич, махнув рукой.

— Я бы все до единого закрыла эти кабаки, — говорила тихим голосом Савишна. — Ну, чего ты придешь домой-то без грошика? А там жена голодом сидит, детишки... Эх ты, горе лыковое!

— Знаю, сам все знаю!.. — глухо проговорил Минеич, ударив себя кулаком в сухую грудь. — И жаль ведь мне их...

— С горя и выпьешь?

— Да, выпью, а потом приду домой, взгляну на эту свою бедность, — так вот точно кто ножом полыхнет по сердцу. Жена примется меня корить, а я ее тиранить... Ей-богу! Зверь зверем... Ребятишки кто к соседям, кто под лавку, а я ее тираню... Возьму да еще на колени возле себя на всю ночь поставлю или веревкой свяжу ей назад руки да ноги к рукам притяну... так она и лежит другой раз целые сутки.

— Зачем же вы так делаете? — спросил я,

возмущенный этим равнодушным повествованием о собственных мерзостях.

— Да как вам сказать... Я и сам не знаю, зачем ее тираню, а так... кажется, вот взял бы нож да на мелкие части всю ее и разрезал... Безответная она у меня какая-то, а меня это еще пуще бесит, потому как я все-таки муж, и хочется мне, чтобы она у меня на коленях прощенья просила. Ежели соседи кто заступятся, я еще хуже делаюсь, потому жена ведь моя... значит, я в своем праве.

— Ишь, какой Аника-воин, — равнодушно проговорила Савишна, не поднимая глаз от своей работы.

Меня поразило ее безучастное отношение к этим гадостям.

Я внимательно смотрел на тирана: кажется, пальцем его ткнуть, так и душа вон, а между тем это ужас целой семьи, ее страх и трепет. Мне пришли на память те богословские и юридические тонкости, которыми опутан союз мужчины и женщины. Ведь этот же самый Минеич и не подумал бы тиранить свою безответную жену, если бы не сознавал себя вправе делать с ней что угодно; и вдобавок,

если бы она ушла от него, он, по праву мужа, мог вытребовать ее по этапу и воздать ей сторицей. Удивительное дело!

— Ну, вот тебе и заплата, — говорила Савишна, возвращая Минеичу его сюртук. — Носи на здоровье...

— Спасибо, Савишна, — благодарил Минеич, влезая в свою систему дыр. — А ведь я раз совсем нагишом пришел было со сплаву, — добродушно прибавил он, любуясь пришитой синей заплатой. — Ей-богу!

— Как не прийти нагишом: в кабаках кожу свою готовы пропить, — сквозь сон говорила Савишна, калачиком свертываясь около огонька напротив похрапывавшего Гаврилыча.

— Как же это вы ухитрились? — спрашивал я, раскуривая папиросу.

— Да самое простое дело... В Перми деньги все пропили с бурлаками, а ведь дорогой, с устатку, тоже выпить хочется; ну, дойдешь до деревни, что-нибудь и заложишь, а потом в одном кабаке и рубаху со штанами пропил. Ей-богу!.. Так нагишом и пошел. Добрел до первой деревни, мужики в поле, а бабы как

увидали меня — бежать. Я вошел в избу, захватил какие-то лохмотья и ушел. Все-таки хоть и дыра на дыре, а не нагишом. Ох-хо-хо!.. Господи батюшка, прости ты наши великие согрешения!..

— Чистые псы эти мужики в другой раз, — отозвалась Савишна, подняв голову. — Только и заботы, чтобы глотку налить винищем, а наша сестра колотится хуже всякой лошади двужильной, да ее же еще тиранят. Теперь взять мое дело: зароблю четыре целковых, один целковый проем в передний путь, а другой в обратный... значит, на руках останется всего два целковых. А одежа, а обутки — ведь носится все...

— Разве у вас на пристани нет другой работы? — спрашивал я.

— Да какая, голубчик, бабе работа, особливо при бедности? Тут хоть свою голову прокормишь да на обутки заробишь, а дома что — дома и этого не заробишь. Теперь взять хоть пряжу... В день напрядешь, ну, пасма четыре али пять, а за пасмо получишь по грошу, значит, две копейки на день придется. А ведь надо встать в четыре часа утром-то да до

поздней ночи, не сходя с места, робить. А лен-то чего-нибудь стоит? Вот какая наша работа, голубчик. Зимним делом, когда уже совсем деваться некуда, ну, торчишь день-деньской за прялкой... В зиму-то цельную хоть на одежонку сколотишься, а поить, кормить кто станет? Ладно, у кого мужья хорошие, а наша сестра-бобылка много слез напринимается... Да еще бога благодаришь, что хоть и с пустым брюхом ляжешь спать, зато ты не бита, ребятишки с холоду да с голоду не колеют около тебя. Мудреная наша бабья жисть, барин...

— Тоже всякие из вас есть, — говорит Минеич, выставляя голову из-под своих дыр. — Другие... хе-хе!..

— Чего другие? Ой, Минеич, Минеич, грешно так говорить!.. Вот хоть взять Лушку или Степаньку, — ты думаешь, сладко им живется?.. Нам тяжело достается, а им вдвое супротив нашего... Только ведь по молодости доводят себя до этого, по своей женской глупости и малодушеству...

Дождь немного перестал, но небо было темно, и желтоватые облака неслись над самой землей. Река тихо бурлила, слегка пока-

чивая барку. Огонь освещал спавших да темную фигуру Прошки, который безмолвно сидел на передней палубе. На берегу горело несколько огней, освещавших деревья и темные фигуры бурлаков. Изредка доносились голоса разговаривавших. Где-то в лесу ухал филин. Мне не хотелось спать, и я пошел к ближайшему огню. Могучая, старая ель наклоняла над ним свои лапчатые ветви зеленым шатром. Изредка пламя косматыми языками рвалось вверх и добиралось до самых ветвей, которые слегка трещали и долго светились медленно тлевшими иглами. Вокруг огня в разных позах расположились бурлаки. На первом плане лежали Мамко и Афонька. За ними виднелись фигуры Лушки и Анки — Анка сидела, прислонившись к стволу дерева, а Лушка лежала на брюхе.

— Можно погреться у вашего огонька? — спросил я.

— Известно, можно, — отозвался Афонька.

Я тоже прилег на сухую хвою. Мое появление, видимо, прервало какой-то интересный разговор. Мамко повернул свой бок к огню и наслаждался ощущением теплоты.

— Так что, говоришь, дядя-то? — спрашивал Афонька.

— Дядя-то... А дядя, братец мой, порешил жену-то, — повествовал Мамко. — А сам в скиты ушел, к старцам...После ее в проруби нашли. Страсть глядеть: чересседельник на шее, язык высунула. И как это рука только у человека поднимается на этакое дело! Да вон Васька или Рыбаков... только кажется чего-чего они не придумают, и все на пакость, все надо погалиться над девками! Как-то раз Васька и говорит: «Пойдем, Мамко, в лес с нами». «Пойдем»... Рыбаков был с нами. Приходим в лес, а там девки уж ждут. Водка была с собой, закуска, пряники. Выпили и девкам поднесли. У Васьки своя любезная, а у нас с Рыбаковым свои. Еще выпили, а Васька отчаянный, ежели и тверезый, а пьяный хуже черта. Вот и придумал. «Ходи на четвереньках!» — кричит Васька своей. Мы хохочем... Смех!.. Потом заставил ее на сосну залезть и оттедо лаять по-собачьему. «На кого лаешь?» — спрашивает Васька. «На тебя, Василий Маркыч»... «Слезай!» Он тут и давай колышматить и давай колышматить, а сам приговаривает: «Зачем

на хозяина лаешь? Не лай на хозяина!» Уж он ее бил-бил-бил, а потом давай ногами топтать. Насилу мы ее у него отняли. «Проси прощенья у моих дружков!» — кричит Васька. Валяется девка у нас в ногах, а Васька хохочет. После они с Рыбаковым чего с ней сделали: увели тоже в лес, раздели, да голую на муравейник и посадили... Сами водку пьют, а она на муравейнике жарится.

— Ах, псы этакие! — возмущается Афонька, у которого в глазах видно сострадание. — За что же они так девок мучают?

— Да так, для своей потехи... А тут взяли да одной ворота дегтем вымазали, потому что была честная и им не давалась в руки. Так ту отец опять давай колотить. Раздел донага, привязал руки к коромыслу, привязал самое к столбу да хлыстиком и давай изуваживать... так всю кожу до пят и спустил. Терпела она, терпела — да в воду, а после, как ее дохтур стал потрошить, она как есть честная девка оказалась. Так отец-то волосы после рвал на себе...

— Ах, варнаки! — ругался Афонька. — Вот ищо варнаки-то!!..

— Отцу-то каково было, а? Ведь кому ворота взмажут, да тут глаза в деревню показать нельзя. Срам всей родне. А уж девке чтобы после этого замуж — ни в жисть! Кому охота на себя петлю-то надевать: одни дружки-приятели проходу не дадут... В другой раз этот же Васька поймал собаку, с живой кожу содрал да так по улице ее и пустил.

— Они вот еще что-нибудь устроят, — говорил Афонька. — Долго ли штыку стащить.

— Это у Прошки? Ну, нет... Он насквозь каждого человека видит. Бе-едовый, двух жен уходил, теперь третью в гроб вколачивает... Еле живехонька бродит. Вот у него, у лешака, какие безмены-то: как поднесет раза — да тут пять раз другая бабенка помрет.

— Ну, только и народ... — задумчиво говорил Афонька, встряхивая рыжими волосами. — У нас заводские бойки, а ваши пристанские превосходнее... Прямые разбойники!..

— Да тебя как к нам занесло-то?

— Как... Известно, не от ума. Отец у меня мастером на катальной, ну, листовое железо где катают. В выписку, в две недели значит, рублей двадцать заробит. Мастерам житье.

Ну, у нас дом и все это прочее — как следует. Богато живем... Утром встанешь, а мать уж всего наварит и настряпает... В достатке живем. Только отец как определил меня на фабрику, мне там и не поглянись. Конечно, глуп человек... Материн сынок. Больно уж тяжело в четыре-то часа вставать да до семи вечера на фабрике робить... Так бы вот не глядели глазоньки! Ну, попробовал было прикинуться, что захворал, мать лекарку привела, а отец смотрел, смотрел да как принялся меня супонью охолаживать — всю боль как рукой сняло. У меня отец, ежели рассердится, делается вроде как твой дядя — што под руку попало, тем и хватит. Ей-богу... Сердце у него больно горячее!.. Ну, походил я этак с полгода на фабрику, а потом и надумал бежать... Да вот второй год теперь и брожу.

— Без пашпорта?

— Какой тут пашпорт: ноги вместо пашпорта...

— Отчего же ты к отцу не воротишься?

— Ишь, гладкой какой! Ступай-ко сам к моему-то отцу, покажи ему рыло — да он разорвет, как кошку. Вот из-за своей глупости всю

эту муку и принимаю... Так переколачиваюсь, где лето, где зиму. В Кушве, в Кыну, по пристаням... Теперь у меня такой расчет: поброжу этак годика с три, а потом к солдатчине, как жеребий брать, и объявлюсь прямо в волости. А к отцу все-таки не пойду.

— Спать пора, — говорил Мамко. — Окиня завтра поднимется... еще черти в кулачки не бьются.

Глава 4

На другой день, когда я проснулся, барка давно уже плыла. В моем балагане было страшно холодно. На барке точно все вымерло, ни одного слова, только вода тихо бурлила у бортов да скрипели поносные. Даже не слышно было команды Окичи, из чего можно было заключить, что барка плывет по плесу, то есть по тихому месту реки, где вода стоит как зеркало. Прошки не было, и я окликнул его.

— Белые комары, барин, — заявил он, появляясь с кипевшим чайником. — Поди, цыганский пот пробрал? Вот ужо погрейтесь около чайничка-то...

— Какие белые комары?

— А вот поглядите сами на них.

Я выглянул. В воздухе тихо кружились белые хлопья снега. Они падали вместе с каплями дождя и покрывали барку тонким мокрым слоем. Бурлаки стояли на палубах молча, с тем тупым выражением чувства покорности, когда человек сознает, что ему нет выхода. Сестра Рыбакова и старик с носовой палубы прикрылись рогожками. Остальные были в прежних костюмах. Дождь давно смочил на бурлаках все их жалкие лохмотья до последней нитки. Васька и Афонька стояли в одних рубахах, очевидно из хвастовства, не желая наряжаться в мокрые рогожи. Впрочем, последние едва ли могли спасти их от страшного холода. Минеич совсем съежился и только жалко хлопал глазами, как голубь, у которого вынута половина мозга. Издали было заметно, как пар поднимался над бурлаками, а Рыбаков и Мамко просто дымились. Даже Окиня, и тот заметно приуныл и с немым укором причмокивал губами. «Эх, дескать, уж и угораздило тебя, снежок»...

— Бурлаки замерзнут, — говорил я, возвращаясь под сень своего балагана, который ка-

зался мне теперь лучше всякого дворца. — Ведь это ужасно... Они стоят под снегом чуть не голые! Они непременно замерзнут.

— Не впервой! — утешал Прошка, для которого это заветное словечко был ответом на все вопросы.

— Тебя поставить бы на палубу-то в одной рубахе, так другое заговорил бы...

— Стаивал и я, барин. Хуже бывало... На вешнем сплаву барка как сядет на огрудок или обмелеет, тогда ее сымать-то потруднее, чем теперь стоять у поносного.

— Чем труднее?

— А тем труднее, что приходится в воду лезть, а вода в те поры как есть ледяная. Ты барку сымаешь, а по реке лед плывет... Вот тогда как? Часов пять другой раз в воде по брюхо стоишь...

— Как же это? Простудиться можно!

— И студятся... Как не студиться, ежели теперь лед. Другие совсем даже без ног остаются. У нас таких человек пять на пристани есть: отнялись ноги, и шабаш. Человек ищо молодой, а куда он без ног-то: калека — калека и есть, одно слово. Милостинку просить —

только и всего ремесла.

— Да вон поставь Минеича в воду — он тут и умрет.

— А вот это ты не ладно говоришь, барин. Недаром старики-то сказывают, что скрипучее дерево два века живет... Я нарочно замечал, что который бурлак в прыску, тот и погинет. Верно говорю... А Минеич не то! Минеич так в худых душах и останется, он отдышится, потому у него уж состав такой: кожа да кости. А вот скоро работа будет, согреются, — прибавил Прошка.

— Какая работа?

— Да к Кыну переборы пойдут, тут много работы будет... Еще попарят лоб-то, даром что снег идет.

Вид берегов днем, при ярком освещении, полон самых оригинальных красот. Даже под дождем эти красоты сохраняются, хотя перспектива исчезает и даль представляется мутным пятном. Но снег сразу меняет картину. Нет ничего печальнее вида еще зеленой травы, которую заживо хоронит слой снега. Вам кажется, что эти зеленые стебельки чувствуют собственное замерзание и напрягают по-

следние силы, чтобы пробиться из него зелеными усиками. Березы, рябины, ивы — вообще лиственные породы — разделяют общую участь с травой, с той разницей, что листва давно пожелтела и значительно поредела, так что эта последняя борьба между жизнью и смертью не бросается в глаза так резко. Один хвойный лес ничего не теряет от этой перемены, а даже выигрывает: омытая дождем хвоя так и блещет своей темной зеленью, а снег ей нипочем. Самая вода в реке казалась теперь темнее и зловеще шумела на переборах и под камнями. Я долго смотрел кругом на измененную снегом картину. Сколько в ней теперь печального!.. Что-то точно давило самую душу при виде этой умиравшей зелени.

Бурлаки с ходу переругивались, точно от этого можно было согреться. И по тону и по содержанию этой ругани видно было, что она ведется pour passer le temps:[153] не было настоящего огня. Последнее происходило, может быть, и оттого, что публика относилась к этой ругани совершенно равнодушно, а равнодушие может убить даже истинного арти-

ста. Ваське надоело ругаться с солдатом, и он теперь изощрял свое остроумие на «заводчине» Афоньке.

— Жжены пятки, калёны носки! — кричит Васька. — Сидел бы лучше у матери на печке да перегребал золу, заводчика...

— А ты, бурлак-ершеед, лаптем подавился, — отвечает Афонька.

— У вас с солдатом одна вера-то: чужими руками жар загребать... Я, кабы был сплавщиком, беспременно велел бы утопить вас в первом переборе. Окиня, ты скажи нам только одно слово, мы с Федей завяжем заводчину и солдата узлом да в Чусовую. Пусть ершей половит...

— Эк тебе, Васька, неймется, — говорит старик. — Ведь сам околел, а все еще ругается...

— Мне тепло, — отзывается Васька, встряхивая волосами. — Вон заводчина зубами стучит, как в кузнице!..

Барка медленно скатывается под нависшие утесы. Скалы кажутся теперь еще выше и угрюмее. Поносные глухо вспенивают воду. Мы плывем под Оленьим камнем. По преда-

нию, преследуемый охотниками олень бросился с высоты этой скалы прямо в реку. Это salto mortale, конечно, стоило бедному животному жизни, потому что скала здесь поднимается над водой сажен на сорок, если не больше.

В одном месте выглянула на берегу деревенька. Бурлаки выпросили у водолива лодку и отправились за провизией, «за харчем». На корме лодки сидел солдат, в веслах — Васька и Степанька; на носу помещался Рыбаков.

— Только у меня чтобы без баловства, — говорил Окиня, отпуская бурлаков. — Ты уж, Федя, смотри, пожалуйста, тово...

— Не впервой, — угрюмо отвечал Федя, не поворачивая своей буйной головы.

— Ну, они так не приедут, — говорили бурлаки.

Лодка обогнала барку и пристала к мысику, на который высыпало десятка два домиков. Бурлаки скоро скрылись в ближайших избах. Снег продолжал падать мягкими хлопьями; в воздухе стояла пронизывающая сырость. Бурлаки попеременно грелись у огня и выпрашивали у Прошки котелок для варева.

Десятка два ложек горячей жижы едва ли в состоянии согреть продрогших насквозь людей. Афонька посинел и стучал зубами, Минеич походил на мокрого цыпленка, который только что вылупился из яйца; припоминая вчерашние разговоры, я совсем не жалел этого несчастного служащего. Уж лучше бы ему умереть, чем вернуться обратно домой и тиранить несчастную жену.

— Ах, псы!.. — ругался Окиня, высматривая из-под руки вверх по реке, по направлению к оставшейся назади деревушки, от которой отделилась черной точкой лодка. Да не ерники ли, не варнаки ли?..

— Чего ты ругаешься, Окиня?

— Да вон псы-то, остались в деревне... Только двое плывут, — один в веслах, другой на корме. Ах, варнаки, варнаки!..

Как я ни напрягал зрения, решительно невозможно было ничего рассмотреть в догонявшей нас черной точке. Только орлиный глаз Окини был в состоянии различить даже фигуры людей.

— Курва Степанька в веслах сидит, а на корме солдат... Да не мошенники ли, а тут

сейчас работа!.. Ах ты, господи милостивый...

— Почему ты думаешь, что это плывут непременно Степанька с солдатом?

— Да ведь сразу видно... Эвона как весломто бултыхает, точно квашонку мешает, — известно, бабье дело! А лодка-то из стороны в сторону так и мотается, небойсь, у Феди с Васькой бежала бы как по струне.

Лодка нас догнала через четверть часа. В ней действительно сидели только Степанька и солдат; в носу помещалась закупленная провизия; картофель, ковриги хлеба, что-то завернутое в грязную тряпицу.

— Ничего, догонят, — успокаивал сплавщика Прошка.

— Знаю, что догонят, на берегу не останутся...

— А как они будут догонять барку? — поинтересовался я.

— А вот увидишь... Это уж их дело. Прошь, припаси-ка новенькую лычагу. Надо будет поучить ребят...

Прошка отправился в свой балаган и вынес оттуда свернутую вчетверо веревку из лык, какой были перевязаны медные штыки

в тюках.

Я с нетерпением ждал этой науки «ребят», но барка плыла вперед, а их все не было.

— Вон за этим плесом сейчас перебор будет, — говорил Окиня, с беспокойством поглядывая назад. — Вода мала, как бы на таш не наткнуться.

Барка тихо катилась по неподвижно стоявшей воде. Мы огибали широкую излучину, в которой вода точно замерзла и не двигалась. Берега поросли дремучим хвойным лесом, из которого виднелись только вершины лиственниц. Где-то слабо посвистывал рябчик, нарушая царившую кругом мертвую тишину.

— Плывут!.. — пронеслось по барке, когда из-за мыса, пересекая реку, показалась узкая однодеревка, лодка-душегубка, как называют здесь такие лодки. Она так низко сидела в воде, что бортов совсем не было видно и люди, казалось, плыли прямо по воде. Теперь уж можно было рассмотреть массивную фигуру Рыбакова и Ваську; на корме сидел плешивый седой старик и с песнями бойко гнал лодку одним веслом.

— Ишь, как весело плывут! — любовался

Прошка.

Лодка причалила к борту. Бурлаки вылезли; старик в лодке крепко стоял на ногах, — видно, что с детства вырос на воде.

— Весело плаваешь, дедко, — переговаривались бурлаки со стариком.

— Изуважить хотел бурлачков, — молодцевато отвечал старик, подмигивая глазом: — Славные ребята...

— На што лучше, дедко.

— Ты чего тут торчишь? Отваливай! — кричал Прошка. — Еще штыку выудишь, пожалуй...

— Да вот мне расчет с молодцов надо получить.

— Какой тебе расчет? — отозвался Васька. — Тебе, старому черту, заплачено сполна, и проваливай....

— Как заплачено? Ах, разбойники!..

— Ты еще ругаться!..

Душегубку оттолкнули, а старика Васька на прощанье из ведра окатил водой. Бурлаки хохотали. Когда ругавшийся старик, наконец, отстал, Васька вытащил из кармана кисет с деньгами и красный бабий платок.

— Купил, Васька?

— Известно, купил... Пока баба Степаньке отпускала картошку, я платочек выудил.

— А кисет где господь послал?

— Кисет стариков... Вот этого самого, што нас с Федей привез. Верст десять нас пятил, согрелся, а как скинул с себя кафтан, я в кармане и нашел.

— Ну, долго будет вас благословлять старик, — смеялись бурлаки. — Теперь, поди, парит лоб-то, сердяга. Верст двенадцать надо ему подниматься вверх по реке, а приедет домой — хватится кисета... А там уж баба о платке, как корова, воет! Да не варнак ли ты, Васька....

За этой сценой началось учение. Первого вызвал Окиня Рыбакова. Гаврилыч и старик с передней палубы разложили его на тюках, первый сел на голову, второй на ноги, Прошка стоял с лычагой в руках.

— Ну-ко, Прош, отпусти ему десяток...

Лычага засвистела в воздухе и оставляла синие рубцы на голой спине Рыбакова. Получив свою порцию, Рыбаков поднялся и как ни в чем не бывало встал на свое место к понос-

ному. Васька сам явился на экзекуцию. Ему отсыпал Прошка целых двадцать ударов, но Васька даже не пошевельнулся. Этим наука и закончилась.

— Спасибо, Окиня, за науку, — благодарил Васька, приводя в порядок свой костюм. — Теперь малость как будто согрелся....

— В другой раз я тебя так согрею, что недели две у меня не сядешь, — сурово говорил Окиня. — Не нашли раньше время-то: как работа, вас и нет, чертей... Посадил бы полубарок на таш, кто к ответе? С вас немного возьмешь...

Впереди уже шумели переборы, где ждала бурлаков работа. Река суживалась, и тихая поверхность плеса переходила в бурливший поток. Волны прыгали, как загнанное стадо овец. Струя подхватила сильнее нашу барку, и она начала вздрагивать. Я стоял рядом с Окиней и смотрел на приближавшиеся переборы. По моему мнению, никакой особенной ловкости не нужно было, чтобы пройти это пространство в несколько сажен: достаточно было знать, как идет русло. Окиня подтянулся и зычно покрикивал на бурлаков; я попросил

его объяснить, в чем будет заключаться работа.

— А вот видишь первый перебор, — объяснял мне сплавщик: — тут мы пробежим по старице под левым берегом, а потом перекосим к правому... Вон на втором переборе, видишь, как посередине вода в двух местах маненичко взбуривает — это два таша лежат: один повыше, другой пониже. Ежели мимо одного далеко пройдешь, попадешь на другой.

— Что же ты будешь делать?

— Я-то?.. А видишь, надо по перебору вкось пройти. Вот тут и беда: маненичко, на волос прошибся, на таш струей и снесет... Теперь понял?

— Да, понял.

— Держи нос-от!.. Направо, молодцы!.. Постарайтесь, родимые!.. Похаживай, бурлачки...

Барка бойко врезалась в первый перебор. Довольно большие волны с шумом разбивались у бортов. Поносные с особенной энергией падали в воду и распахивали ее на две широкие волны. Бурлаки прониклись одним об-

щим чувством самого напряженного внимания. Барка не была уже мертвой посудиной, теперь она скорее походила на громадное живое существо, которое было преисполнено напряжения всех своих живых сил; даже эти неуклюжие поносные можно было принять за две громадные руки, которые судорожно взрывали воду. Нужно было видеть в это время бурлаков. Я теперь только понял, чем славились утчане: едва сорвется команда с языка Окини, как все ударят поносным с таким напряжением, точно тяжелое бревно в руках восьми человек превращается в игрушку. Это называется «работать одним сердцем». Я просто любовался этой ничтожной кучкой бурлаков, которая в торжественном молчании пометывала поносное, как перышко. Подгубные работали за десятерых. Рыбаков и Мамко както особенно ловко срывали поносное, поднимали перо над водой и глубоко погружали его в волны. Можно пожалеть, что нельзя было срисовать эту кучку работавших «одним сердцем» бурлаков: они просились на полотно в своих энергичных позах.

— Шабаш нос-от! — крикнул Окиня, когда

барка миновала первый перебор.

Теперь задача, которую предстояло нам разрешить, была очевидна и ясна: в самой средине второго перебора бурлившая вода обозначала лежавшие под водой таши, один немного выше, другой — ниже. Чтобы пройти мимо них, нужно было перерезать перебор вкось, между ташами, причем следовало как можно более пройти к первому ташу, потому что водяная струя будет сносить барку на второй.

— Молодцы, ударьте нос налево!.. Нос налево! Сильно-гораздо ударьте, молодцы!.. Молодцы, не выдай! — кричал Окиня, взмахивая рукой. — Корму поддоржи!.. Корму... Корму!..

Сильная струя подхватила барку и стремительно понесла ее на первый таш. Мне показалось, что барка должна была разбиться вдребезги: так она близко прошла мимо холмика взбивавшей кверху воды. Нужно было теперь отбивать корму, которую сильно относило водой, но тут произошло что-то необыкновенное: в момент, когда я считал опасность уже миновавшей, барка с треском налетела на второй таш прямо своим правым плечом.

Дно выгнулось, и барка, кажется, готова была сейчас переломиться пополам.

— Отуривайся! — скомандовал Окиня.

Барка отурилась, то есть повернулась кормой вперед, но этот маневр не мог ее спасти: она повертывалась на таше, как флюгер.

— Шабаш, — уныло проговорил Окиня, убедившись в невозможности сорвать барку с таша; он бросил на палубу свои кожаные рукавицы и почесал затылок. — Эк, угораздило... а! Сила не взяла...

Бурлаки бросили поносные и громко разговаривали. Вода страшно бурлила вокруг нас. Прошка вылезал из-под палубы, куда лазил осматривать, не повреждено ли дно.

— Эк тебя, Окиня, угораздило... а! — проговорил Прошка, тоже почесывая затылок. — Прямо, как есть, на быка залезли!..

— Ослеп, старый черт, — ворчал Рыбаков в кучке бурлаков. — Надо было раньше отбивать корму...

— Ты не ослеп, — ругался Окиня. — Как бы ты ее стал отбивать, ежели струя...

— А мы в воду не пойдем! — кричали бурлаки в один голос. — Снимай, как знаешь...

— Ах, вы, собаки! — ревел Окиня, бегая с одной палубы на другую. — Да как вы не пойдете, ежели надо сымать барку... Не сидеть же на ташу!..

— А вот подождем, когда вода сверху подойдет, — отвечал Рыбаков спокойно: — Тогда сама барка сымется...

— «Подождем!» «Сама сымется»... — передразнивал Окиня и, не найдя что возразить, только обругался крупной мужицкой руганью.

Глава 5

— Дай мне отдохнуть, — советовал Прошка, когда мы вошли в балаган,

— Будь они от меня прокляты! — ругался Окиня.

— Сымем, Окиня, — утешал Прошка и, указывая глазами на небольшой дубовый бочонок, лежавший в углу, прибавил: — Вон силу-то раскубарим, так с головой в воду залезут... Пусть их поерошатся немного, отведут душу.

Мы напились чаю, Окиня с яростью отдувал пар с своего блюдечка и издавал время от времени какие-то неопределенные звуки.

Бурлаки в это время собрались гурьбой около огня и ругали сплавщика; бабы суетились около котелков. Минеич грел руки над самым пламенем и морщил лицо; Рыбаков молча курил цигарку, заложив ногу на ногу.

— Меня хоть расколи, а я не полезу в воду! — кричал Васька, размахивая руками. — Мне што: не полезу, и шабаш... Околеть што ли мне для Окиньки?..

— Полезешь, пё-ос! — певуче говорила Савишна, помешивая одной рукой в котелке, а другой заслоняя лицо от огня. — Не бабам же сымать барку...

— Ишь ты, больно слизкая: не бабам!.. А чем вы святее нас? Подол в зубы да и в воду...

— За четыре-то рубля да в воду — жирно будет, подавишься, Васинька! Ты вот получишь восемь целковых, так и полезай за них в воду. Вот Окиня подаст по стаканчику, так под барку залезешь.

Скоро из балагана показался Прошка. По его хитрой роже было видно, что он явился для переговоров, хотя и сознавал всю трудность возложенной на него Окиней дипломатической миссии. Бурлаки загудели, как рой

пчел, при его появлении.

— И не говори, Прошка... Лучше и не говори! — орали голоса.

— Да я... ах, господи милостивый?!.. Да я, што ли, ворог вам? Да разрази меня на месте... Вот сичас провалиться, с места не сойти!..

— Вре-ошь, Прошка!.. — галдела толпа. — Вишь, ребята, как он буркалами-то ворочает, как осетёр... Проваливай, Прош, в балаган, испей чайку с Окиней — может, вдвоем, как ни на есть, а сымете барку. Чайничков пяток охолостите, так с одного пару пойдет...

— Да я для вас же хлопочу, братцы...

— Ишь, братец какой выискался!.. Нет, Прош, не тебе в воду-то лезть, так ты, тово, проваливай в палевом, приходи в голубом!..

— Да ведь вам же, дуракам, хуже, если будем сидеть на ташу. Ну, чего вы горло понапрасну дерете: не впервой! — Обсохнет барка на ташу — и ступайте домой без расчету...

— Так и пошли!.. Подставляй карман шире...

— Дело прямое, что без расчету уйдете... Мне ведь што, мне все равно, об вас говорю.

Эти переговоры не привели ни к чему, и Прошка удалился в балаган ни с чем; но его резоны произвели известное впечатление, главным образом, конечно, на благоразумный, рассудительный элемент. Первым отозвался старик с передней палубы, а за ним Гаврилыч и Мамко; бабы им вторили. Мало-помалу голос благоразумия начал брать перевес, особенно когда бурлаки отдохнули и наелись. Васька завернулся в мокрую рогожку и спал мертвым сном тут же на медных штыках, — только пар валят. Можно было подивиться этому железному здоровью.

— Первое дело, не надо, как вылезешь из воды, соваться к огню, — говорил Минеич, попыхивая крошечной сигаркой.

— Отчего же нельзя? — полюбопытствовал я.

— А это уж известно каждому бурлаку... Да. Примеры бывали. Кто этаким манером продрогнет в воде да к огню сунется, сейчас ноги как деревянные и сделаются. Так совсем и отнимутся: пропал человек. Надо исподволь... Обтерпишься где-нибудь под палубой, потом можно и у огонька погреться. Хорошо, если у

кого переменка есть в запасе: рубашка, штаны... Чтобы, значит, сейчас в сухое переменриться.

— А у вас разве нет с собой другой рубашки?

— Другой-то нет...

— Тогда без рубашки лезть в воду?

— Оно, пожалуй, и так, да как-то не принято... Совестно одному-то голому быть, притом на барке вот женщины тоже. Нет, уж так, как господь пошлет: обсохнет понемногу на живом человеке.

Как могла обсохнуть мокрая рубашка на костях Минеича, для меня было такой же загадкой, как богатырский сон Васьки, который теперь был обсыпан поверх своей рогожки целым слоем мокрого снега. А дорогое время летело. Короткий осенний день был в середине. Еще несколько часов, и барке грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на ташу. Снег продолжал валить мокрыми хлопьями. В воздухе стояла мертвая тишина, нарушаемая только всплесками и шумом бурлившего около нас перебора. Прошка раскупорил заветную посудину и вынес бочонок на палубу.

— Ну, братцы, подходи, — кричал водолив, наливая первый стакан. — Кому первому? Эх, хороша водка!.. Сам бы пил, да деньги надо...

— Ты уж в Перме отведешь душу, Прош, — дружелюбно говорили бурлаки, гуськом подходя к бочонку.

Первым подошел Минеич. Дрожащей рукой взял он стакан из могучей лапы Прошки, перекрестился, разгладил рыжие усы и жадно прильнул синими губами к стакану, пока в нем не осталось ни капли.

— Ты уж, Минеич, тово, пожалуйста, постарайся, — шутил Прошка: — на тебя вся надёжа!.. Прикладывайтесь, ребята.

В этой обстановке, при работе в холодной воде, водка являлась, кажется, единственным спасительным средством, и, право, едва ли можно обвинять бурлаков в таком пристрастии к ней. Пили все с одинаковым удовольствием, и все одинаково крякали и пожимались от разлившейся благодетельной теплоты по измерзшему бурлацкому телу. Окиня тем временем хлопотал на корме, где разматывали снасть и готовили «неволю». Неволей, на образном бурлацком жаргоне, называется

широкое, стесанное с двух сторон бревно; оно походит на обыкновенную доску, только чрезвычайно толстую.

— Сперва попробуем неволей, — кричал Окиня: — может, и сдернет с таша...

Неволю прикрепили комлем к носу, а другой конец свободно опустили на толстом канате.

— Кто из охотничков на неволю? — кричал Окиня.

Мамко и Васька молча выделились из толпы. Через минуту они были в одних рубашках.

— Мотряй, чтобы струей не сбило, Вась...

— Не собьет, — отозвался Васька уже из воды, которая ему доходила по грудь. — Ух, студяно!..

Мамко последовал его примеру, и с «чегенем», то есть длинным колом в руках, стал под плечом барки; Васька, цепляясь за неволю, перебрался до ее дальнего конца и обседлал ее.

— Прош, чегени! — кричал Окиня, бегая по корме. — Федя, ищо потуже...

Прошка и Рыбаков плотно подперли корму

барки толстыми кольями с противоположной неволе стороны; но место было глубокое, колья трудно было установить правильно, и Рыбаков спустился в воду.

— Мамко, подчегенивай! — крикнул Окиня, держа в руках закрепленную на огниве снасть.

Мамко продернул свой кол в отверстие, сделанное на конце неволи, и как-то особенно ловко повернул бревно ребром, так что вода сразу образовала запруду и сильно наперла на неволю. Васька старался удавить прыгавший конец неволи глубже в воду. Канат натянулся. Барка задрожала. Бурлаки с шестами стояли на корме и не давали ей поворачиваться назад. Был один момент, когда барка, кажется, была готова сняться с таша, но одной неволи было мало, а другой не было в запасе.

— Видно, нечего делать, братцы... — уныло проговорил Окиня, почесывая затылок. — Берите чегени да в воду.

Минеич, солдат, Гаврилыч, Афонька, Прошка и старик с носовой палубы, ожигаясь, спустились по другую сторону от неволи и

выровнялись с чегенями под левым плечом барки. Бабы стояли у носового поносного. Нужно было спустить неволю, а потом вдруг повернуть ее, и в то же время бурлаки должны были сдвигать барку чегенями. Васька затянул «Дубинушку». Когда дошло до «подернем», неволя зашумела, бабы ударили нос, направо, бурлаки приподняли левое плечо чегенями — барка немного подвинулась, но потом опять стала.

— Эх, ешь-те мухи с комарами! — ругался Прошка, бросая свой шест. — Точно руками кто ее держит.

— Маленичко подалась, братцы, — одобрял Окиня, и сам затянул «Дубинушку».

Что-то такое необыкновенное было во всей этой картине: эти люди, стоявшие чуть не по горло в воде, шум бурлившей воды, эта дружная песня, гулким эхом катившаяся вниз по реке... А снег продолжал все идти, точно белым саваном, покрывая все кругом. Несколько раз уж пропели «Дубинушку», у бурлаков давно стучали зубы. Прошка в эту критическую минуту опять появился с магическим стаканчиком и бочонком.

— По два стакана на брата, — распорядился Окиня.

Бурлаки, не вылезая из воды, выпили свою порцию. Грянула опять «Дубинушка», и на этот раз барка начала медленно сползать с камня, на котором видела.

— Сильно-гораздо, молодцы! Сильно, молодцы!.. — неистово орал Окиня, бегая по палубе как сумасшедший.

Бурлаки с дружным криком подхватили барку чегенями, и она, наконец, сползла с таша. Все бросились из воды и карабкались по бортам. Минеича при этом чуть не утянуло под барку, но Прошка вовремя ухватил его и, как мокрого котенка, выдернул из воды.

— Поживи еще, Минеич, — шутил Прошка, опуская свою добычу: — рано собрался ершей-то ловить.

— Чуть было не засосало... — шептал Минеич посиневшими губами; он теперь был рядом с другими бурлаками неизмеримо жалок и едва попал ногами в свои ветхие порты.

Барка точно обрадовалась своему освобождению и, казалось, плыла как-то необыкновенно легко и ходко. Бабы равнодушно смот-

рели на бурлаков, как они одевались в свои лохмотья, и ни на одном лице не промелькнуло ни улыбки, ни тени стыдливости. Да и чего было стыдиться, когда продрогшие, окоченевшие люди спасали себя от холода.

— Ну-тко, погрейся, братцы! — командовал Окиня, затягивая свое бесконечное «нос направо», «поддоржи корму», «наконь корму», «корму на порубень» и т. д.

Бурлаки с особенным усердием налегли на поносные и выбивались из последних сил, чтобы согреться. Этот маневр все-таки был лучше, чем дрогнуть где-нибудь под палубой. К огню никто не подошел, кроме солдата, который не знал приемов бурлацкой гигиены.

— Ступай ты к поносному, — говорил Прошка несчастному воину. — Охота человеку задарма пропасть... Вот согреешься, тогда и к огню.

Хорошо это было советовать, но каково терпеть!

— Шабаш! — скомандовал, наконец, Окиня и, сняв шапку, проговорил: — Спасибо, други сердечные... Вызволили!.. Прош, закати им ишо плепорцию!

Бурлаки выпили свою «плепорцию» и только теперь собрались вокруг огня, подставляя промокшие спины и бока под самое пламя. Водка на них не производила никакого опьянения, хотя на каждого выпало чуть не по полуштофу. В котелках варево было уже готово, и все принялись за него с особенным ожесточением. Бабы суетились и помогали. Теперь барка походила на большую семью. Моралист мог еще раз убедиться в очевидности той истины, как страдания сближают людей.

— Ох, уж эти мне камешки! — говорил Окиня, когда мы пили чай в балагане. — Нет того хуже, как плавать по межени: в камнях таши, а выбежишь из камней, пойдут огрудки.

Вечером барка схватилась немного повыше Кыновского завода, потому что плыть в темноте дальше было опасно. Мне больше нечего было делать на барке: из Кына приходилось ехать в Пермь по гороблагодатскому тракту. Я распрощался с бурлаками, с Окиней и с Прошкой. Мой чемодан лежал уже в лодке, где ждали Васька, Афонька и Мамко, кото-

рые вызвались отвезти меня в Кын.

— Ты, барин, весной к нам приезжай, на Чусовую-то, — говорил мне на прощанье Окиня: — изуважим... Долго будешь помнить!

— И теперь не забуду.

— Теперь чего: раков давим.

На рубеже Азии

(Очерки из захолустного быта)

Глава 1

Мой отец был человек среднего роста, замечательно толстый, вспыльчивый, добрый и слабохарактерный. Последнее я понял, может быть, слишком рано, еще в том счастливом возрасте, когда люди всему на свете предпочитают сладкое, верят всем на слово и всякую книгу считают своим смертельным врагом. Бывало, отец сильно вспылит на что-нибудь, закричит, затопает ногами, и кажется, вот-вот возьмет да и переломит пополам своего собеседника, но как-то случалось всегда так, что именно в эту самую минуту появляется мать своими неслышными шагами, и отец вдруг стихнет и заговорит совершенно

другим голосом; только изредка это быстрое затишье нарушалось очень резкими нотками, точно кто возьмет да и отрубит топором. Мать скромно садилась с работой куда-нибудь в уголок и все время самым сосредоточенным образом ковыряла какой-нибудь чулок, строго поджав губы. Я всегда с особенным любопытством наблюдал эту немую сцену и знал наперед, что, когда выйдет за дверь тот человек, который заставил отца сердиться, мать, не подымая глаз от чулка, проговорит своим тихим ласковым голосом:

— Вам, Викентий Афанасьич, очень вредно горячиться... и Январь Якимыч как-то это же говорил.

— Да я, Пашенька... ах, подлецы, подлецы!!.. — разражался обыкновенно отец страшными проклятиями, но это был уже последний удар грома.

Схватившись за голову, отец долго ходил тяжелыми шагами, от которых дрожали половицы; его большое строгое лицо с косматой бородой и сердитыми серыми большими глазами скоро смягчалось, и он немного виноватым голосом проговаривал, не обращаясь соб-

ственно ни к кому:

— Чайку бы напиться...

Мать молча поднималась с своего места, не глядя на отца, брала со стола всегда блестевший самовар и отправлялась с ним к печке: отец очень любил пить чай, и поэтому самоваром в нашей семье разрешалось очень много тяжелых минут, в которых не было недостатка. Я уверен, что не будь самовара, этих тяжелых минут в нашей жизни было бы несравненно больше.

Отец служил священником в одном из уральских горных заводов, на самом плохом месте, какое только было во всей ...ской губернии, куда он попал благодаря своей горячности. Этот завод называется по речке Таракановке — Таракановским или попросту Таракановкой; в нем было всего полторы тысячи жителей, половина которых уклонилась в раскол, значит, приход был самый последний и едва ли давал отцу в год и сто рублей дохода, кроме двенадцати рублей жалованья, на которые приходилось существовать целому семейству в шесть человек. Правда, у нас была готовая квартира, состоявшая из двух ком-

нат: кухни и чистой комнаты; готовое отопление и освещение и, кроме того, ежемесячно от владельца заводов выдавалось по полтора пуда ржаной муки на душу, что на шесть человек составляло в месяц девять пудов.

Чистая комната служила гостиной, кабинетом отца, спальней; кухня была и приемной, и прихожей, и столовой, и детской. Я не понимаю, как моя мать могла ухитриться, чтобы эти две комнатки всегда были и чисты и опрятны; но это было так, по крайней мере я не помню, чтобы в этих комнатках когда-нибудь был сор или грязь. Чистота — это был культ моей матери, вторая натура. На всех вещах, которые были в наших двух комнатках, непременно лежала эта строгая печать: скромная чистенькая мебель, посуда, платье — все было очень скромно, даже, может быть, слишком скромно и, вероятно, казалось бы очень бедным, если бы чистота не скрадывала пятен, заплаток и той особенной полировки, которую получают вещи от долгого употребления.

Входивший в кухню не замечал, что он в кухне: русская печь, налево от двери, была за-

маскирована всегда чистенькой ситцевой занавеской, — направо от дверей, около стены, тянулась широкая деревянная скамья, перед ней стоял большой ломберный стол, на котором обедали, пили чай, а в свободное время работала мать с моими сестрами или я готовил свои уроки. Небольшой стенной шкафик, тоже замаскированный ситцевой занавеской, умещал на своих небольших пяти полках почти всю кухонную посуду, за исключением нескольких медных кастрюлей, которые хранились вместе с двумя серебряными ложками в большом деревянном сундуке, стоявшем за печкой, где была спальня и будуар моих сестер. На полу всегда были настланы чистенькие половики домашнего приготовления; около печки ярко блестел медный рукомойник с медным тазом; в переднем углу висел старинный образ в серебряном окладе; только одна картина, написанная масляными красками на железном листе, которая висела как раз против входа так, что всякому невольно бросалась в глаза, — одна эта картина представляла какое-то исключение из всей этой обстановки, а для меня — неразреши-

мую загадку.

Эта мудреная картина изображала знаменитую сцену, происшедшую между целомудренным Иосифом и женой Пентефрия[154], и, нужно отдать ей справедливость, изображала очень плохо, хотя неизвестный художник не поскупился ни относительно красок, ни относительно фантазии. На первом плане была кровать, нечто среднее между эшафотом и комодом, а на кровати лежала совсем голая женщина с красным лицом и розовыми ногами, прикрытая какой-то сеткой, походившей на невод; она улыбалась и манила рукой Иосифа, который, оставив в ее руках часть своей верхней одежды, поспешно удалялся, неестественно загнув назад голову и как-то особенно смешно выворотив обе ноги, точно они были у него вывихнуты. Как попала эта странная картина в нашу скромную обстановку и зачем она висела прямо против входной двери, я до сих пор не могу объяснить этого себе, но картина висела несколько десятков лет и так всем нам примелькалась, что, кажется, никому и в голову не приходило, что она могла быть неприлична.

В чистой комнатке, в дальнем углу, стояла громадная двухспальная кровать, скрытая под шерстяным пологом; налево от двери стоял письменный стол отца; несколько дешевых стульев было расставлено вокруг стен; коричневый диван, перед ним «десертный» стол, а налево от дверей стоял громадный комод, оклеенный красным деревом. Этот комод составлял исключение в нашей скромной мебели, и я часто рассматривал эту диковинную вещь, лучше которой ничего не мог себе представить. Я гладил рукой полированное дерево, прикладывал к нему щеку, дышал на него, наблюдая, как пар от дыхания мокрым пятном ложился на политуру и быстро высыхал; но медные ручки ящиков приводили меня просто в восторг и своим блеском и своей изящной работой в форме переплетавшихся между собой змеек.

Отдельно от всей остальной мебели стоял высокий посудный шкаф, занимавший самое видное место: за его стеклами была собрана вся наша лучшая столовая и чайная посуда, две фарфоровых куклы, несколько кондитерских сахарных яичек и полдюжины ярко-рас-

писанных фарфоровых тарелок, на которых в торжественных случаях подавалось варенье и десерт. Вообще, сквозь всю нашу скромную обстановку проходило несколько вещей каким-то исключением, и на них, кажется, сосредоточено было все внимание моей матери: она так всегда берегла их и каждый раз с особенным удовольствием вынимала их откуда-нибудь из глубины сундука потому, вероятно, что они безмолвно напоминали ей о лучшем времени. В числе этих вещей были знаменитый комод, рукомойник, две столовых и полдюжины чайных серебряных ложек, несколько разрозненных чайных чашек, медные кастрюли, полдюжины фарфоровых тарелок, и, кажется, к ним же принадлежала знаменитая картина, с которой, по-видимому, у матери связано было или какое-нибудь хорошее воспоминание, или, может быть, даже суеверная надежда, что существование этой картины тесно связано с существованием всей нашей семьи. Что такие фамильные суеверия существуют и передаются из одного поколения в другое, в этом, вероятно, убедился всякий мало-мальски наблюдательный чело-

век.

— Это еще когда мы в Махнёвой жили, — неизменно приговаривала мать каждый раз, вынимая какой-нибудь медный подсвечник или старинную фарфоровую чашку, причем непременно припоминалось с необходимыми подробностями какое-нибудь событие из жизни нашей семьи, так что по этим чашкам, тарелкам и ложкам можно было восстановить очень подробно историю нашего семейства — каждая чашка, каждое блюдечко говорили за себя.

— Вот эту чашку с розовыми цветочками подарил тебе твой крёстный, — говорила мать, повертывая перед моим носом небольшую красивую чашку. — Тогда Викентий Афанасьевич купил в городе кобылицу, приезжает домой и говорит: «Пашенька, посмотри, какую я лошадь купил в городе», — а крёстный-то из-за его спины выставил эту чашечку и говорит: «А я вот крестнику чашечку тоже купил»...

«Когда мы жили в Махнёвой» — это было началом и концом всякого разговора в этих случаях, потому что в Махнёвой остались

лучшие воспоминания нашей семьи, когда у нас была знаменитая кобылица, которую не могла обогнать в Махнёвском заводе ни одна лошадь, и много знакомых; мать относилась с каким-то суеверным чувством ко всякой вещи, которая напоминала жизнь в Махнёвой, за исключением небольшой изящной фарфоровой куклы, которая была известна в нашей семье под названием «секретаря» и которую сестры тщательно прятали от отца, потому что он уже несколько раз выбрасывал ее за окно; мать хотя не выбрасывала куклы, но всегда делала вид, что не видит ее или приговаривала между прочим: «Это так... дрянь разная!»

— Не-ет, мне она, эта кукла, вот где сидит, — говаривал отец, показывая на свой затылок. — *Он* тогда и подкатил ко мне с этой куклой.

«Он», вместилище всяких зол и источник всяких наших злоключений, Амфилохий Лядвиев, был секретарь ...ской консистории; он учился вместе с отцом в семинарии, а затем они рассорились из-за каких-то пустяков, отец сгоряча написал своему товарищу очень

оскорбительное письмо, и секретарь устроил так, что отца немедленно перевели из Махнёвой в Таракановку, то есть из очень богатого прихода в самый бедный. Эта история повторялась в нашем семействе тысячи раз, и отец каждый раз приходил в страшную ярость и кричал:

— *Он* хочет, чтобы я к нему с повинной пришел... взятку ему дал, консисторской крысе! Не-ет, шалишь... Викентий Обонполов расколотого гроша тебе не даст!.. *Он* думает, что я покорюсь: не-ет... Было время, когда *он* для Обонполова за водкой бегал, подлец...

Когда пароксизм гнева проходил, отец с какой-то тихой грустью прибавлял:

— А ведь когда-то из одной чашки ели, на одной скамье сколько лет высидели... А теперь попал в консисторию, и черту не брат? А что такое консистория? Мне плевать на их консисторию... Quid est consistoria? Consistoria est oblupatio poporum, diacanorum, diatschcorum cum prosvirhibus...[155] Ха-ха-ха!.. Вот что консистория... подлец сидит на подлеце, подлецом понукает! Ха-ха!

И отец смеялся нехорошим тяжелым сме-

хом, точно он хотел заглушить им в себе того червячка, который день и ночь сосал его. Амфилохий Лядвиев, страшный призрак для нашей семьи, имя которого не произносилось в нашем доме, был по всей вероятности самый обыкновенный консисторский секретарь; но с этим именем были связаны самые тяжелые воспоминания, и я не иначе представлял его себе, как «в образе зверином», каким-то полумифическим существом. Мой отец отлично окончил курс в ...ской семинарии и как один из лучших богословов получил место в Махнёвском заводе, где и зажил припеваючи; но ссора испортила неожиданно все, и день за днем наша семья приближалась к роковой нищете. Наших маленьких средств не хватало даже на содержание, и моей матери пришлось зарабатывать деньги иглой; она шила платья, пальто, шубы; сначала это делалось потихоньку от отца, потом делалось под предлогом помощи каким-то дальним родственникам; но никакая тайна не остается тайной: отец как-то узнал горькую истину и, вместо ожидаемой вспышки, заплакал, как ребенок. Это были первые слезы в течение этой семи-

летней войны.

— Пашенька, мне стоит съездить к преосвященному, — говорил отец, — он меня помнит и переведет на другое место... Я ведь не за себя поеду просить, а за детей: зачем с детьми-то меня на старости лет пустили по миру?!.. А?.. Зачем?

Но это были одни слова, звуком которых отец утешал и себя и нас; мать обыкновенно молчала и только ниже наклоняла голову, чтобы незаметно от всех вытереть невидимку-слезу. Эти роковые семь лет сильно состарили отца, волосы на голове и в бороде начали седеть, а главное, характер его сильно изменился; он начал ко всем относиться подозрительно, везде видел козни и интриги своего смертельного врага, Лядвиева, и сделался тем, что известно под именем «обозленного человека».

Нужно сказать, что чем сильнее одолевала нас бедность, тем больше вырастала наша семейная гордость, в жертву которой приносились последние гроши, причем не допускалось даже мысли, что можно было поступать иначе. Я очень хорошо помню, как наш обед

делался все скуднее и скуднее, но стоило только навернуться чужому человеку в наш дом, — сейчас появлялось на столе вино и дорогая закуска, и начиналось самое усердное угощение; гость пил, ел и уходил, а мы оставались при нашем скудном обеде, и никому даже в голову не приходило, что лучше было истратить деньги, которые шли на вино и закуску гостям, на те бесчисленные нужды, которые все сильней и сильней окружали нас. В семье мы могли чувствовать всю тяжесть бедности и скрепя сердце выносили большие лишения, но перед чужими людьми мы держали себя с большим гонором и бросали последние рубли с самым равнодушным видом, как будто совсем не нуждались в деньгах; эта мысль была наследственной, была каждому из нас понятна сама собою, и я уверен, что каждый из нашей семьи не мог представить себе другого порядка вещей. Самой страшной вещью для нашей семьи была мысль, что о нас скажут, и, боже сохрани, пожалуй, поставят на одну доску с заводскими лесообъездчиками или заводскими служащими, мелкой сошкой вообще.

— В прошлый раз у Сермягиных подали пирог с рыбой, а корка-то из второго сорта, — не поднимая глаз, проговорит иногда мать с такой улыбкой, что я, кажется, согласился бы десять раз умереть, чем подать гостям пирог из второго сорта. Слушая тихий разговор матери с отцом о ком-нибудь постороннем, я часто испытывал большой страх за участь этих посторонних, у которых все было не так, как у нас, то есть неизмеримо хуже; мое детское сердце сжималось от страха за участь каких-нибудь Сермягиных, и я вместе с тем сам начинал относиться к ним с приличной строгостью и даже с известным презрением, потому что был глубоко убежден в нашем семейном превосходстве.

Странно то, что эта семейная гордость переносилась даже на вещи, которых у нас не было; может, тут действовала просто зависть, но, с другой стороны, все, что было в руках других, для меня решительно не имело никакой цены, потому что только у нас были действительно хорошие вещи, а у других — все дрянь разная; я жалею, что не могу привести даже образчика той критики, какую мать за-

давала каждой чужой обновке — одним словом, в результате такой критики вещь по меньшей мере оказывалась негодной, если только не вредной. А что происходило в нашей семье, когда нужно было что-нибудь купить, сшить, заказать, — это было целое событие, которое делало в жизни нашей семьи эпоху, так что не говорили, что это случилось в таком-то году, а говорили, что оно случилось как раз в то время, когда шили шубу тому-то или такое-то платье матери или сестрам; к сожалению, таких событий было слишком мало в нашей жизни, и вдобавок они уменьшались с каждым годом, поэтому, вероятно, мы особенно и дорожили ими. Но вот новая вещь выдержала искус и попала в наш дом, — с этих пор она уже не допускала ни сравнения, ни критики: достаточно было уже одною того, что она в нашем доме; эти вещи, имевшие честь сделаться нашими, как бы переставали быть вещами, а составляли часть нас самих.

Наша семья состояла, как я уже сказал, из шести человек: отец, мать, старший брат, я и две сестры. Сестры были подростки, одной че-

тырнадцать, другой пятнадцать лет; старшую звали Надей, младшую Верочкой. Надя была красива, всегда весела, любила поесть, соснуть покрепче и заливалась таким звонким девичьим смехом, что даже отец, глядя на нее, бывало, засмеется, что с ним случалось все реже и реже; Верочка на вид выглядела простенькой, но была с прижимистым характером и необыкновенно выдержанна, а главное, все делала в меру, так что мать постоянно ставила ее в пример Наде и стыдила последнюю, что сна уже невеста, а ума у ней все нет.

Сестры кое-как умели читать и писать, этим и ограничивалось их воспитание, зато по части хозяйства им было дано примерное образование: Надя любила рукоделья, Верочка помогала матери по хозяйству или, вернее сказать, — она одна вела все наше хотя и маленькое, но очень сложное хозяйство, потому что у нас была корова, а ходить за коровой, особенно зимой, для четырнадцатилетней девочки было очень трудно. Встать в пять часов утра, идти сейчас же из теплой комнаты на тридцатиградусный мороз, выносить пойло

корове, задать ей сена, подоить — все это такие операции, которые для всякой другой девочки составили бы непреодолимые препятствия, только не для Верочки; она, бывало, только раскраснеется с мороза, храбро подтыкет юбки и с улыбкой в десятый раз идет во двор. Зато уж любо было посмотреть на корову Верочки, — так она была всегда чиста, так умно держала себя и давала всегда такое отличное молоко.

Но сестры и моя собственная персона, все это были только подробности, придатки к Аполлону Обонполову, первенцу и баловню всей семьи, моему старшему брату; он лет шесть уже учился в уездном духовном училище и приезжал домой только на святки и на летние вакации. Это был уже совсем молодой человек, ему было шестнадцать лет; высокого роста, очень сильный, с бледным выразительным лицом, серыми глазами, густыми черными бровями и чуть пробивавшимися усиками — он был для меня недосягаемым идеалом, перед которым все преклонялись в доме и который был и общей надеждой нашей семьи, нашей гордостью, нашим счастьем и на-

шей общей слабостью. Понятно, что для Аполлоши ничего не было заветного; отец тратил на него последние гроши с самым довольным лицом, мать проводила бессонные ночи над работой «в люди», над которой потеряла глаза, — и все это затем, чтобы Аполлоша был, «как другие», в училище, то есть как дети богатых священников, благочинных и протопопов; у него было всегда приличное белье, приличное верхнее платье, книги и даже карманные деньги.

Нужно отдать справедливость Аполлону, что он не только не злоупотреблял своим исключительным положением, но платил большой любовью своей семье и с каждым годом делался тем, что желала в нем видеть мать (отец на все смотрел ее глазами); точно он отливался по ее рецепту: гордый, расчетливый, аккуратный, бережливый, считавший себя и свою семью выше всего на свете; отцу больше всего нравились в Аполлоне его физическая сила и прямота характера; сестрам — то, что он молодой человек, который хотя и обращался с ними свысока, но все-таки молодой человек, которым интересовались все завод-

ские барышни.

Приезд Аполлона на вакации был для нас задолго предметом самых оживленных разговоров; последние дни ожидания были просто тяжелы от чересчур сильного нервного напряжения; Аполлон являлся всегда такой свежий и довольный и всегда привозил что-нибудь в подарок мне и сестрам. Это, кажется, были единственные подарки, какие мне случалось получать в детстве, и воспоминание о них для меня неразрывно связано с приездом Аполлона. Бывало, с таким нетерпением юлишь около Аполлона, пока он здоровается со всеми, отвечает на вопросы отца и матери, но, наконец, эта скучная церемония кончается, Аполлон медленно запускает руку в карман голубого жилета, вынимает оттуда ключ и отворяет кожаный чемодан — тоже воспоминание о Махнёвском заводе. Как было все аккуратно уложено в этом чемодане, — кажется, не описать никаким пером: белье, книги, папиросы, разные безделушки точно так и родились вместе с чемоданом, по крайней мере я никогда не мог достигнуть такого искусства укладывать свои вещи в этот же самый

фамильный чемодан, когда мне пришлось ездить с ним в училище. Грошовые подарки, которые привозил нам Аполлон, были так хороши, что я даже теперь, по прошествии долгих-долгих лет, испытываю чувство невольного волнения при одном воспоминании о них; я уверен, что никакие елки богатых детей не доставят такого удовольствия, какое мне доставлял чемодан Аполлона, окруженный самой таинственной неизвестностью и всегда оправдывавший мои ожидания самым блестящим образом, потому что достаточно было уже одного того, что эти подарки привозил Аполлон.

Словом, Аполлон был для нас некоторым домашним божком, который все делал и говорил самым отличным образом, но у этого божка был один крупный недостаток — очень плохая память, так что, несмотря на все его усердие и самое отчаянное прилежание, он вместо двух лет сидел по четыре года в классе[156]; отец и мать смотрели на это довольно снисходительно, потому что Аполлон просто из кожи лез, чтобы учиться наравне с другими, и занимался с редким прилежанием

даже во время каникул.

— Не лопнуть же ему в самом деле, — утешал себя отец. — Только я, бывало, всегда первым в классе сидел: загляну в книжку, прочитаю два раза, и кончен бал. Может, нынче труднее учиться стало, или учителя строгие; а как ты, Паша, думаешь, — не подводит ли Аполлошу тот?

Этот намек на консисторского секретаря казался матери совсем неосновательным, и она старалась успокоить отца чем-нибудь другим, рассказывала приличный случаю пример, как у какого-нибудь священника сын в младших классах шел плохо, а в семинарии кончил студентом. Отец успокаивался и, вздохнув всей своей могучей грудью, прибавлял: «Претерпевый до конца — той спасен будет».

В каждый такой приезд Аполлона на каникулы, после первых приветствий, отец всегда спрашивал брата:

— А что отец Марк?

— Ничего; кланяется вам, папа.

— Еще пуще разбогател?

— У него, папа, двадцать лошадей, да хлеба

лежит в амбарах по три тысячи пудов.

— Что же, большому кораблю большое плавание, а мы поближе к берегу, — с подавленным вздохом говорил каждый раз отец и обыкновенно прибавлял: — Только я так думаю: конечно, я получаю мало в Таракановке, а зато я не пойду кланяться каждому мужику, не буду клянчить сметану да масло... А все-таки отлично устроился отец Марк. Три тысячи пудов хлеба — это не баранья кожа!

— Дочери-то у отца Марка большие? — спросила мать.

— Большие, — коротко отвечал Аполлон.

— Отлично, поди, одеваются?

— Да, ничего.

— Ведь вот, подумаешь, какая, видно, кому судьба, — говорил отец: — вместе на одной парте сидели: я, Марк да Амфилошка... Мы Марка больше Маркушкой звали, и учился он так себе, середка на половине, а теперь... три тысячи пудов, а?.. А все-таки я не завидую отцу Марку, потому я получаю жалованье от заводоуправления и знать ничего не хочу... Отлично Маркушка устроился!

Глава 2

Наш домик выходил на небольшую четырехугольную площадь, упиравшуюся в заводской пруд; на берегу пруда стояла небольшая деревянная церковь, очень ветхая и когда-то очень давно выкрашенная сиреневой краской. Направо от церкви тянулась заводская плотина, под ней чернела фабрика, а за прудом белел каменный господский домик, в котором жил заводский управитель, француз Кабо; налево от церкви стояло несколько деревянных лавчонок, и сейчас за ними, на небольшом возвышении, красовалось «Пеньковское волостное правление» — большой новый пятистенный деревянный дом с ярко-зелеными ставнями. Завод Таракановка заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших горных речек, из которых река Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводский пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной котловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие на-

ходили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописнейшим местом на свете. Самое замечательное в Таракановке было то, что во всем заводе не было ни одной точки, с которой не было бы видно леса и недалеких гор; крайние домики стояли наполовину в лесу или отделялись от него небольшими «кулигами», так что, куда ни посмотри — везде лес, настоящий сибирский лес, полный для меня неизъяснимой прелести.

Основан Таракановский завод очень давно, лет полтораста назад, на месте небольшого раскольничьего поселка; раскольники, беглые из Сибири и разный иной сброд давно оценили р. Таракановку с ее дремучими лесами и свили здесь теплое гнездо; но один из русских промышленников «приглядел» это местечко под завод, выпросил его себе у правительства и выстроил фабрику. Первый владелец Таракановки, какой-то Коробейников, основал еще несколько заводов на Урале, а затем умер; его наследники поделили заводы

между собой, и в конце концов Таракановка очутилась во владении графини X. Сама графиня никогда не бывала на своем заводе, все дело вершили разные управители, управляющие и доверенные; последний из них, француз Кабо, пользовался плохой популярностью и больше всего заботился только о дивидендах своей доверительницы. Рабочие называли его «наш Кобель»; мой отец отзывался о нем с величайшим презрением, во-первых, потому, что Кабо был католик и никогда не ходил в церковь, а во-вторых, потому, что и «имя у него было собачье»; вообще Кабо принадлежал, по терминологии моего отца, к тому разряду людей, который был помещен под рубрикой: «чужая ужна».

— Приехал, нажил денег и уехал, — говорил отец: — такое ему и имя: чужая ужна и есть!.. И живет, яко пес: постов не соблюдает, жрет зайцев, голубей, воробьев...

Жителей в Таракановке было до полутора тысяч, это были большею частью закоснелые раскольники, «кержаки», как называл их отец; в окрестных лесах, особенно в верховьях речки Таракановки, было несколько рас-

кольничьих скитов, где самым мирным образом проживали разные старцы и старицы. Отец не умел ладить с своей паствой, постоянно горячился в спорах и, наконец, махнул на непокорных овец рукой; кержаки относились к нему индифферентно и только изредка ради шутки косвенным образом давали заметить свое озлобление, отпуская выражения вроде того, что «вес не попова душа», и т. п.

Ядро таракановской аристократии составляли две фамилии заводских служащих: Сермягины и Портнягины; из представителей этих двух фамилий составился весь контингент заводских служащих: тут были и повытчики, и запасчики, и расходчики, и надзиратели, и дозорные — словом, как говорил отец, всякого жита по лопате. Замечательнее всего было то, что эти две фамилии страшно враждовали между собой, и эта фамильная вражда переходила из рода в род, так что происходило нечто вроде войны гвельфов и гибеллинов [157]: то повышались Сермягины и падали Портнягины, то начинали забирать силу Портнягины, а Сермягины «захудали» и клонились к упадку. Только два человека из этих

семей представляли собой исключение: Иван Меркулыч Сермягин и Январь Якимыч Портнягин — они не только не враждовали, а жили душа в душу; Иван Меркулыч, или попросту Меркулыч, занимал должность волостного писаря. Январь Якимыч «состоял на обязанности лекарского ученика», как он выражался. Обыкновенно Января Якимыча звали Январем или просто «учеником», но это не мешало ему быть замечательным человеком во многих отношениях, начиная с его наружности: маленький, сухонький, с маленькой седой головкой и какими-то забавными пукольками на висках, он резко отличался от всех остальных обитателей Таракановки, а для меня лично на «ученике» лежала видимая печать того замечательного обстоятельства, что Январь Якимыч, после Кабо, был единственный человек на заводе, который «был даже в Москве». Для меня последние слова имели магическое действие, я всегда смотрел на Января, как на выходца с того света; даже отец, и тот, хлопнув своей могучей рукой «ученика» по плечу, не раз говаривал: «Ведь смотреть, братец, не на кого, а был в Москве... а?»

Жил Январь Якимыч одиноким старым холостяком в какой-то конурке, отгороженной им в заводской аптеке за большими шкафами; чрезвычайно добрый, по-своему умный, Январь Якимыч все свои досуги посвящал исключительно двум предметам: во-первых, рыжей корове, которую он ухитрялся держать тоже при аптеке, в каком-то чулане, а во-вторых, рыбной ловле, в которой не знал соперников. Практики у старика было очень немного, да и болезни были самые простые: мужики маялись головой и поясницей, бабы «скудались животом и зубами», и только изредка, для разнообразия, у кого-нибудь «подкатит под самое сердце». Январь Якимыч относился к своей обязанности очень серьезно и с самым трогательным усердием «пользовал от головы, живота, поясницы и от сердца», причем больные выздоравливали, кажется, больше благодаря доверию к «ученику», чем его микстурам. В каморке Января Якимыча все вещи были «из Москвы», хотя в Москве старик был лет сорок тому назад; ходил Январь мелкой дробной походочкой, «сыпал», постоянно улыбался, щурил глазки, поправ-

лял пукольки на висках и любил уснащать свою речь двумя прибаутками, которые не сходили у него с языка: «А, чтоб тебя собачки заели! А, чтоб тебя кошки залягали!» Богомолен был Январь до неистовства и притом имел странную привычку молиться вслух; поздно вечером, стоя на коленях и откладывая земные поклоны, он громко молился «о коровушке-буренушке, гуляющей на зеленой муравушке».

Я уже сказал, что Январь и Меркулыч жили в большой дружбе между собой, и только раз эта долголетняя дружба чуть было не порвалась совершенно случайным образом: Меркулыч принес из лесу в корзинке «облако», а Январь просмеял его и доказал, что это «облако» Меркулыча какой-то сморчок или лишай. Как теперь вижу Меркулыча: небольшого роста, довольно плотной комплекции, с круглым и румяным, как спелое яблоко, лицом, с сильно напомаженными светло-русыми волосами, он, после брата Аполлона, всегда казался мне самым красивым человеком в свете; небольшая русая бородка, усы, черные брови и два ряда удивительно белых,

точно выточенных из слоновой кости зубов придавали его физиономии самое степенное благообразие, какое я только мог себе представить. Одевался Меркулыч скромно, но прилично; его казинетовое пальто было всегда чисто, по праздникам он надевал белые накрахмаленные сорочки и с необыкновенным искусством повязывал пестрый галстух на шее, в торжественных случаях надевал ярко-зеленые лайковые перчатки и носил с собой тоненькую камышовую тросточку, предмет сильнейшей моей зависти. В будни Меркулыч ходил в простых ситцевых рубашках и прятал казинетовые брюки за сапоги, что он делал не по недостатку вкуса, а из экономии. Скромность Меркулыча и его тихий, хотя и не без известной доли упрямства нрав делали его общим любимцем, тем более что он обладал секретом вечной веселости, самого ровного расположения духа и самым безобидным юмором, который разыгрывался с особенной силой в присутствии барышень; к последним Меркулыч питал большую слабость, но держал себя очень скромно. Меркулыч был доволен собой до глубины души, если ему удава-

лось сказать острое словцо; в разговоре, к месту и не к месту, он часто прибавлял две поговорки, которые находил очень смешными: «еще хуже» и «как дров». За этим прекрасным человеком во всех отношениях была одна слабость: он пил водку очень редко, но зато уж как попадало ему пять-шесть рюмок, он лез на стену и выделывал чудеса, причем обнаруживал крайне разрушительные наклонности — лез драться, ломал все, что попадало под руку, вообще держал себя самым непозволительным образом и совсем не походил на себя: делался бледен, как полотно, глаза наливались кровью, рвал на себе платье и даже, в один из таких припадков, сломал свою камышовую тросточку. Обитатели Таракановки, принимая во внимание общую сумму достоинств Меркулыча, великодушно извиняли ему его единственный недостаток, выражаясь довольно коротко: «Меркулыч у нас разрешил». По воскресным дням Меркулыч непременно являлся в церковь, и хотя очень недолюбливал дьячка Кинтильяна, самого отчаянного скандалиста, какого мне только случалось встречать, но всегда становился на пра-

вый клирос и подпевал Кинтильяну довольно приятным тенором, вместе с Январем Якимычем, который тоже был не прочь спеть «пофигуристее»!

Волость была в двух шагах от нашего дома, и я постоянно бегал туда; в волости всегда был кто-нибудь, и непременно что-нибудь рассказывали. Правда, иногда здесь происходили, может быть, слишком откровенные разговоры для моего возраста, но с двенадцати лет я пользовался уже полнейшей свободой, и меня трудно было удивить откровенностью по части разговоров. В волости всегда можно было застать картину: Меркулыч вечно что-нибудь скрипит пером на бумаге, в углу комнаты непременно режется в шашки старшина Прошка с кем-нибудь из своих благоприятелей — с церковным старостой Емельяном Иванычем Рукиным, или с сидельцем Вахрушкой, или, наконец, с Январем Якимычем, который до страсти любил задать партнеру «воздушный или пароходный нужничек». Прошка сильно походил на медведя, только что поднятого с берлоги: громадного роста, косая сажень в плечах, с большим звер-

ским лицом и маленькими свиными глазками, совсем заплывшими жиром; всего замечательнее у Прошки был его могучий затылок — такие затылки можно видеть только где-нибудь на памятниках. Что касается до нравственного характера Прошки, то это был зверь в полном смысле этого слова, особенно когда он напивался пьян, а пьян он был на правах старшины с утра до вечера; в течение восьми лет Прошка своими десяти пудовыми кулаками отправил на тот свет две жены и теперь подыскивал третью. До толстых баб Прошка был большой охотник, и рабочие называли его за это Быком.

Интересная игра в шашки в волости кончалась всегда одним и тем же: как Прошка ни потел, как ни чесал затылок, а Январь Якимыч всегда непременно загонял его «в места злачные». Рукин был старик лет шестидесяти, благообразный и седой, но очень хитрый и постоянно улыбавшийся; у него на рынке была небольшая лавчонка, в которой он бойко торговал «панским товаром», то есть обувью, чекменями, азямами, конской сбруей, рукавицами и разными другими товарами, в кото-

рых нуждался рабочий люд. Вахрушка, сиделец, красивый парень лет двадцати пяти, славился тем, что ежегодно «уносил круг о Николине дне», когда в Таракановке происходила борьба; Вахрушка «завязывал узлом» даже Прошку с его неизмеримым затылком и вообще пользовался репутацией отпетой башки. Прошка, Рукин и Вахрушка составляли «таракановскую троицу», как говорил отец, и были неразлучны: утром играли в шашки в волости, а по вечерам резались в стуколку у Рукина. Относительно этой троицы в Таракановке громко говорили все, что и Прошка, и Рукин, и Вахрушка «пошли жить от старцев»; именно, ходили всевозможные рассказы о том, как эта троица подсмотрела где-то в горах раскольничий скит, старцев и стариц передушила и забрала себе многое множество денег, меду, восковых свеч, дорогих икон и т. п.; между прочим, передавали, со всеми подробностями, как троице досталось одной медной монеты пять больших мешков, в каких продают муку. В подобных случаях ничего невероятного не было; случаи подобного рода в летописях Таракановки не были исключитель-

ным явлением: одной рукой подавали в скиты, а другой зорили их.

У Рукина и Прошки были отличные новенькие домики, стоявшие недалеко от волости; между ними приютилась небольшая избушка нашей просвирни Луковны. Эта маленькая на вид избушка внутри делилась на три комнаты: в одной жила сама Луковна с дочерью Олимпиадой, или попросту, как все ее называли, Лапой и даже Лапухой; в другой комнате жил сын Луковны, дьячок Кинтильян, а в третьей помещался Меркулыч. У избушки Луковны ворот не было, а стояли одни столбы; крыша давно прогнила, кирпичи в трубе выкрошились, и у окон недоставало нескольких кирпичей. Но это наружное убожество с излишком выкупалось тем, что находилось внутри избушки Луковны.

Комната Луковны отличалась полным отсутствием мебели, за исключением двух лавок и некрашеного стола; перед русской громадной печкой стояло несколько ухватов, полка с горшками, чашками и самоваром была рядом — вот и все. Остальное имущество помещалось частью на печке, частью за печ-

кой и состояло из какой-то невообразимой ветоши да двух-трех стареньких ситцевых платьев.

Луковна была вдова; ее муж был дьяконом в Таракановке. Это был очень добрый и очень умный человек, но вечно пьяный и не имевший совсем характера.

Если моему отцу тяжело приходилось жить в Таракановке, то дьякону приходилось вдвое тяжелее, потому что он получал вдвое менее жалованья и доходов, а Луковне в десять раз тяжелее всех, потому что муж пропивал половину жалованья и, главное, мешал работать и буянил. Однако, несмотря на все это, Луковна ухитрилась выучить старшего сына в семинарии; другой ее сын хотя и жил с ней вместе, но не только не помогал ей, а даже тащил в кабак из ее гардероба или убогой утвари, что попадало под руку. Когда у Луковны учился старший сын в училище и семинарии, каждый месяц нужно было посылать в город пять рублей за квартиру, нужно было белье, верхнее платье, сапоги, — я отказываюсь понять, каким образом сколачивалась Луковна, когда в доме не было гроша. По

смерти дьякона, которого Луковна горько оплакивала, она жила по-прежнему, с той разницей, что ее никто не ругал, но это не мешало Луковне часто вспоминать мужа, и чем больше проходило времени, тем воспоминания эти делались как-то живее, и дьякон являлся в них почти отличным семьянином. Забывала ли Луковна свои огорчения, вспоминала ли свою молодость, когда дьякон еще не пил, или смерть примирила ее с отцом ее детей, — трудно сказать, но Луковна никогда не говорила ничего дурного про своего мужа. Мой отец и все одинаково уважали эту женщину; сама Луковна держала себя всегда ровно и спокойно, была приветлива и не теряла этого равновесия души и часто смеялась сквозь слезы над какой-нибудь выходкой своего «заблудящего дьякона», как она называла мужа. В детстве я половину своего времени проводил в избушке Луковны, которую очень любил, и как теперь вижу ее: небольшого роста, широкая в плечах, с сильными загорелыми руками; смуглое скуластое лицо ее с небольшими черными глазами, совсем черные волосы на голове, густые брови, немного

приподнятые скулы, горбатый нос и большой рот, все это носило немного восточный отпечаток, особенно когда Луковна улыбалась. Здоровье у нее было железное, и это, кажется, было единственное богатство, каким наградила ее судьба.

Старший сын Луковны, кончив курс в семинарии, уехал в Петербург и там поступил в медицинскую академию; он очень редко писал матери, и эти письма были настоящим праздником для нее. Когда долго не было писем, она беспокоилась, вздыхала, часто плакала, начинала видеть дурные сны, а в сны она слепо верила, и, странное дело, эти сны почти всегда оправдывались; увидит Луковна печь — значит, будет печаль, увидит воду или хлеб — письмо от сына из Петербурга. Читать Луковна не умела, поэтому все письма ей читали другие — Меркулыч, иногда я или отец; Луковна во все время такого чтения обыкновенно стояла, склонив немного голову набок, с самой блаженной улыбкой на губах, а по смуглому лицу так и катились счастливые слезы.

— Трудно ему, моему Сереже, — говорила

Луковна, бережно складывая письмо: — город большой, все чужие... И в Таракановке-то как трудно жить, а в Петербурге-то ихнем, поди, в десять раз труднее. Сколько я говорила Сереже, чтобы он не ездил туда, а поступал в священники; что в этом учении ихнем, когда до седых волос надо учиться. В семинарии Сережа проучился двенадцать лет да в академии этой надо проучиться шесть лет — ведь это восемнадцать лет, а там сколько еще прослужит доктором-то!

— Зато уж выучится, Луковна, так хорошо будет, — говорил отец: — полторы тысячи жалованья будет получать, дом тебе купит.

— Ах, отец Викентий, мне уж немного и жить-то осталось, как-нибудь дотяну и без дому, а помру — и дом будет, из которого не вылезешь.

Дочь Луковны Лапа была старше меня годом или двумя и была бела, как русалка; волосы у нее были, как лен, голубые глаза и смешные, совсем белые брови и ресницы — вообще она была полной противоположностью своей матери и наследовала от нее только здоровое, сильное тело, так что в пятнадцать

лет уже совсем сформировалась и выглядела невестой. По характеру это была девка сорвиголова, которая при матери была ниже травы, тише воды и ходила с опущенными глазами, а без матери выказывала самые козлиные свойства характера, дурачилась, хохотала и визжала самым необыкновенным образом, так что, бывало, даже вздрогнешь, когда услышишь нечаянно этот странный визг и смех.

Как я уже сказал, я «живмя жил» у Луковны и был в ее избушке как свой человек; когда не было Меркулыча или он был занят, я сидел с Луковной, особенно в бесконечные зимние вечера, когда дома была скука смертная, а в комнате Луковны горела в светце березовая лучина и она под мигающее пламя этой лучины пряла бесконечную нитку, сопровождая свою работу какой-нибудь песенкой. Но особенно тянуло меня в комнатку Меркулыча, никакой музей не представлял для меня такого интереса, как эта каморка, имевшая в длину шагов десять и в ширину шагов пять и одним окном выходившая на площадь; деревянные стены ее были оклеены

синими обоями и были, как в музее, увешаны всевозможными предметами: картинки, фотографии, два ружья, маленький револьвер, известный под названием «кулачка», которым Меркулыч гордился больше всего; всевозможная охотничья сбруя, несколько кинжалов, целый арсенал удочек, гитара, несколько птичьих чучел, оленьи рога; небольшой тюменский коврик над деревянной кроватью, полочка с книгами, счеты, стенные часы с кукушкой, коллекции бабочек и минералов — словом, всего не перечислишь; небольшой ломберный столик в углу был буквально завален разными интересными «штучками», в числе которых первое место принадлежало бронзовой чернильнице, имевшей форму «гробницы Наполеона», как уверял меня ее владелец. Три деревянных стула, деревянный диван и небольшой комод дополняли обстановку этой комнатки.

— Ну, Кирша, давай чаевать, — говорит, бывало, Меркулыч, облекаясь в пестрый халат; «чаевать», то есть пить чай, в каморке Меркулыча было верхом блаженства, потому что в промежутки между стаканом чая и вы-

куриваемых папирос Меркулыч имел обыкновение играть на гитаре. Его репертуар был очень невелик, но я с новым удовольствием в сотый раз выслушивал неизменную польку «трамблям», какой-то «плач Наполеона», «вальс-казак» и еще несколько песен: «Гляжу я безмолвно на черную шаль»[158], «Хуторок», но лучшую часть репертуара составляли «Барыня» и очень смешная песня «Чепуха». Меркулыч, заложив нога на ногу и не выпуская из зубов папиросы, необыкновенно весело напевал «Чепуху», содержание которой я помню и теперь:

Поп надел чужой жилет
И наморщил брови,
Вдруг подъехал к нему дед
На седой моркови...
Чепуха, чепуха, чепуха... (bis),

Или:

Черт намазал мелом хвост,
Напомадил руки
И из погреба принес
Жареные брюки...

Эта замысловатая песня не имела конца, и

Меркулыч даже приделал к ней некоторое продолжение «от собственного чрева», как он скромно выражался о своей авторской деятельности.

Глава 3

С двенадцати лет я пользовался неограниченной свободой, и мы провели с Меркулычем много отличных дней на охоте в горах; весной проводили целые ночи, лежа в закрадках на тетеревиных токах; после Петрова дня, когда поспевали выводки утиные и рябиные, ходили за свежей дичью, а глубокой осенью отправлялись за глухарями и, наконец, по первому снегу, били «поспевшую белку». В лесу Меркулыч был как у себя в квартире, отлично знал все хорошие места, где водилась дичь, а в ней недостатка на Урале не было, и особенно хорошо он знал нрав, привычки, все хитрости и уловки той дичи, с какой приходилось нам иметь дело. С неподражаемым искусством он каким-то чутьем распутывал все хитрости утиных выводков, глуповатых глухарей и увертливой белки, которая летом, когда шкурка на ней была совсем красная, преспокойно сидела над вашей головой, но зато с

первым снегом, когда «поспевала» и делалась серой, она, как молния, забиралась в такие густые ели, откуда ее мог добывать только один Меркулыч; небольшая сибирская собачонка Лыско, принадлежавшая Меркулычу, хотя и походила на дворняжку, но отлично отыскивала дичь, облаивала глухарей, искала белку верхним и нижним чутьем и даже приносила из воды убитых уток; только относительно зайцев, которых Меркулыч стрелял только зимой, для шкурки, Лыско не мог выдержать характера и, задрав хвост кольцом, с визгом убегал от нас, несмотря ни на какие увещания. По зимам Меркулыч стрелял зайцев, а когда выпадет глубокий снег, мы ездили с ним на особенных охотничьих пошевнях с высокими копыльями стрелять тетеревей «с подъезду» или на чучело. О рыбе и говорить нечего — Меркулыч, кроме Января Якимыча, здесь не знал соперников и, когда не ходил на охоту, ловил щук, окуней, ершей и налимов с необыкновенным искусством.

По зимам я целые дни жил с салазками на улице, где с товарищами по возрасту проводил время самым веселым образом, главным

образом катаясь с горы; короткий зимний день промелькнет незаметно, не успеешь оглянуться, а уж кругом темно, значит, давно пора идти домой. У меня был дубленый нагольный тулупчик, в котором я ходил по зимам; этот тулупчик очень часто бывал причиной большого горя для меня, потому что после дня, проведенного в снегу, он получал самый жалкий вид, и мать говорила, что его хоть выжми, вода так и бежала с него. Понятное дело, что когда я являлся домой в таком печальном виде, мать читала мне длиннейшее нравоучение и часто наказывала: ставила в угол, оставляла без чаю, а главное — имела жестокость запирать меня в комнату на несколько дней, отдавая в жертву шуточкам отца, который обыкновенно говорил в этих случаях:

— Что, паренек, видно, в образе смирения... а?.. Видно, мать-то прижала тебе хвост... а?.. Ну, да твое не уйдет, бегаешь, как саврас без узды.

Отец совсем не вмешивался в мое воспитание и предоставил его матери, а с меня требовал только твердого знания тех уроков, кото-

рые задавал мне; благодаря отличной памяти мне было достаточно прочитать по учебнику раз или два, и я отлично отвечал какой угодно урок. Между мной и отцом установились дружественные отношения, но мать держала со мной имя свое грозно, и я сильно побаивался ее, потому всеми силами старался не попадаться ей ни в чем предосудительном. Мой мокрый полушубок был причиной наших недоразумений, поэтому, подходя вечером к своему дому после веселого дня, я долго ломал голову над вопросом, как бы попасть в комнату так, чтобы мать не заметила бедственного положения, в каком я находился. Последнее было сделать очень трудно, потому что мать и сестры работали вечерами в передней, и как только отворишь дверь, мать и головы не подымает, а уж чувствуешь, что она видит все, и вперед краснеешь, и падаешь духом в ожидании головомойки. Надя всегда, бывало, пожалеет, а Верочка, — та, наоборот, еще подведет под грозу, потому что еще сильнее матери следила за неприкосновенностью моего полушубка. Были некоторые обстоятельства, которые давали мне воз-

можность избегать справедливой кары: во-первых, когда бывали у нас гости, я шел смело, потому что на меня тогда никто внимания не обращал; во-вторых, если пили чай в гостиной, тогда я без шуму отворял дверь в переднюю, неслышно снимал полушубок и прятал его на печку и после некоторой паузы появлялся в дверях гостиной, пряча за спину красные, опухшие от мороза руки. Мать и сестра делали вид, что совсем не замечали меня, но отец всегда спасал меня в этих случаях, обратив все дело в шутку, и я, утирая нос рукавом рубашки, скромно помещался подальше от матери в ожидании горячего чая со сливками.

Однажды, как теперь помню, мы сильно заигрались с Пашей Сермягиным; вдруг на заводских часах пробило шесть часов — положение было поистине ужасное, потому что в восемь часов у нас ложились спать, и нечего было думать о спасении — спасения не могло быть. В глубоком раздумье брел я домой и издали увидел, что в гостиной огня не было и все сидят в передней; в освещенное окно было видно, что мать и сестры сидят за работой

у стола, а отец ходит по комнате — значит, все кончено, Кирша пропал. У меня упало сердце от страха, и в голове мелькнула мысль совсем нейти домой, а провести ночь на улице, но это было легко подумать: я давно чувствовал большую усталость во всем теле, хотел есть, как волк, и главное — промерз до костей, и ноги были давно мокры. Я остановился недалеко от дома, чтобы перевести дух и собраться с силами; в это время мимо меня шмыгнула маленькая старушка, в которой я сразу узнал Климовну: я был спасен и совершенно незаметно пробрался за Климовной прямо на печь, всегда представлявшую для меня самую неприступную крепость в свете. Климовна была старуха-повитуха и знала решительно все, что делалось в Таракановке, и тихим голосом по целым часам о чем-то рассказывала матери; когда входил в комнату отец, Климовна сразу меняла тон и слезливым голосом начинала жаловаться на разбойника-зятя. Отец сам догадывался уходить, когда Климовна заводила речь о разных щекотливых новостях, а мать под каким-нибудь предлогом высылала сестер в гостиную...

Итак, я совершенно незаметно пробрался на печь и наслаждался живительной теплотой, которая согревала мое продрогшее, измученное тело; отец ушел в гостиную читать какую-то книгу, сестры ушли с работой за ним, а я остался на печи всеми забытый и наслаждавшийся своей безопасностью. Климовна с таинственным видом подсела к матери и торопливо заговорила своим шепотом, сильно жестикулируя. Я никогда не интересовался ее болтовней, но на этот раз сделался невольным слушателем, и притом самими обстоятельствами принужден был лежать совершенно тихо, так что до меня отчетливо долетало каждое слово тихого шепота Климовны.

— Бык-то наш как увязался за Лапой, — повествовала Климовна, отворачивая от огня свое сморщенное, как моченое яблоко, птичье лицо: — а она к нему так и льнет... Стыдобушка головушке, матушка моя! Луковна-то совсем ума решилась было с горя, а девка дурит, и кончено... Ведь сама бежит к Быку-то!

Мать была настолько поражена, что только качала головой; мне хотя и было четырнадцать лет, но я уже понимал, о чем шла речь,

и даже навострил уши.

— Да и мудреное дело Луковне возиться с девкой, — продолжала Климовна: — живут они с Быком сутыч огородами-то, где тут усмотришь за ней: вывернется из избы за каким делом, а сама к нему... И-и, какое мудреное дело!.. Бык-то нальет себе шары[159] да и ходит как очунелый...

Как-то напился, давай искать ее, а мать услала ее в соседи, он за ней, она от него. Так, слышь, на стену и лезет!.. Колотить хотел, только старуха Митревна пожалела девку да уж в подполье ее от Быка-то и спрятала. Такое дело, такое дело, что и думать не придумаешь, а сраму-то, сраму-то?!.. Ведь Бык-то рассердится, да с Вахрушкой по бревнышку разнесут избушку у Луковны!

— Жаль, пропала девка-то.

— Чего и говорить, мать моя: совсем пропала, ни за грош... Надо бы ее замуж сейчас, как она заневестилась, а где их, женихов, в Таракановке-то возьмешь.

Я скоро уснул под этот тихий шепот, а когда проснулся, было уже утро; разговор, который я слышал вчера, конечно, забыл и вспом-

нил о нем только тогда, когда пришел к Луковне и встретил там жестокую баталию. Сначала я не узнал Луковны: она просто неистовствовала. Лапа безмолвно сидела у окна и только тихо вздрагивала полными плечами, когда удары сыпались на нее.

— Убью, своими руками убью! — с пеной у рта кричала расходившаяся старуха. — Я тебя родила, я тебя и убью... На цепь, как собаку, прикую!..

— Убейте, мне легче будет... — шептала Лапа, не подымая глаз.

Луковна схватила дочь за белую косу и потащила ее по полу: она не замечала меня, что я стою в дверях, и я поспешил отретироваться. После этого я несколько раз бывал у Луковны, она похудела и была совсем убита, но работала, не разгибая спины, точно хотела разогнать усиленным трудом свои черные мысли; Лапа с опущенной головой сидела тоже за работой с утра до ночи, и больше не раздавалось ее звонкого визга и смеха. Однажды отец послал меня за Луковной и, уведя ее в гостиную, долго с ней о чем-то говорил; когда Луковна ушла, отец сердито проговорил, обра-

щаясь к матери:

— Я еще умной женщиной считал, а она уперлась, как пень, — хоть кол на голове теши... Ведь срам! Как я сказал ей, чтобы она прогнала от себя ту, куда тебе, сейчас на дыбы. Выжила совсем из ума старуха! Ведь ее же жаль: хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит...

— Ах, Викентий Афанасьич, — с упреком говорила мать, — разве так можно... Ведь она мать: умного жаль, а дурака вдвое.

— Что же мне-то делать? Я и раньше говорил ей: «смотри», а теперь уж поздно. А как начал я советовать ей, чтобы ту определила к отцу благочинному, опомнилась, подумаю, говорит.

Из этих слов и нескольких разговоров в том же духе я понял, что речь идет о Лапе, которую общим советом хотели отправить на исправление к благочинному; Климовна «частила» к нам и приносила каждый раз какие-то свежие новости, которые и передавала матери под величайшим секретом. Меркулыч безвыходно сидел в своей волости, но, как я заключил по его поведению, совсем ничего не

знал о случившемся событии; поэтому отчасти по терзавшей меня потребности непременно кому-нибудь выболтать лежавшую на моей душе тайну, отчасти из желания вывести Меркулыча из тьмы неведения, но без малейшего злого умысла я однажды, когда мы вдвоем сидели в волости, подробно рассказал ему все, что знал, и даже кое-что прибавил от себя. Меркулыч заложил перо за ухо и, выкуривая одну папиросу за другой, долго молчал, а потом, подняв на меня свои добрые глаза, проговорил изменившимся голосом:

— И ты, Кирша, поверил?

— Да ведь Климовна рассказывала, я своими ушами слышал...

— Так, Климовна рассказывала... Так. А если Климовна соврала, тогда как?

— А к благочинному ее зачем хотят отправлять?

— К благочинному?!.. У Лапы есть отец?

— Нет.

— Так. Значит, заступиться есть кому за нее?

Я молчал, потому что был совсем поражен таким оборотом нашего разговора и даже

немного обиделся, что моя новость не произвела надлежащего эффекта.

— Ты подумай-ко, голова с мозгом, — продолжал Меркулыч наставительным тоном, — чего стоит Климовне распустить про Лапу худую славу? Ничего... Девка совсем беззащитная, и говори, что хочешь. Так я говорю? Вот у тебя две сестры, отец жив, вот и хорошо все, а умри он — та же Климовна и сплетет такую штуку, что хоть в воду. Прошка давно глаза пялит на Лапу, только все это пустяки...

Меня даже пот холодный прошиб от слов Меркулыча, и в горле стояла слеза от одной мысли, что о Наде и Верочке могли говорить что-нибудь дурное, как о Лапе; этот разговор с Меркулычем запечатлелся навсегда в моей памяти, и с этого времени я научился не верить людям ни слова, когда они говорят о ком-нибудь дурно, и мысленно дал себе слово никогда не говорить ничего дурного о других.

Глава 4

Спустя немного времени после истории с Лапой в Таракановке случилось целое событие, которое надолго составляло предмет разговоров и заставило забыть Лапу и ее ис-

торию. Однажды просыпаюсь ранним утром и слышу страшную возню во всем доме, соскакиваю с постели, одеваюсь наскоро и бегу к чайному столу. Отец с заложенными руками за спину ходил по комнате, что он делал всегда, когда был чем-нибудь взволнован; мать суетится около печи, Надя торопливо дошивает свое новое шерстяное платье, Верочка, с голыми ногами и высоко подтыканным подолом, домывает переднюю. Я сразу почувствовал, что случилось что-то необыкновенное.

— Так сколько он жалованья получает? — спрашивал отец.

— Две с половиной тысячи... — отвечала мать, подымая вспотевшее красное лицо. — Лапа прибегала давеча, просила взаймы сахару, так сама рассказывала...

— Ну, теперь нам, видно, у Лапы скоро придется занимать сахар-то...

— Пока еще бог милостив, не занимали ни у кого, — обиженно отвечала мать.

— Мне утром не спалось, — заговорил отец, стараясь поправить свою неловкую шутку. — Часу этак в пятом утра, слышу — ко-

локольчик, потом мимо нас тройка побежала и остановилась около церкви... Хотел посмотреть, кто едет, да поленился встать, думаю, к правителю кто или на земскую станцию. Ну, Кирша, к нам приехал целый доктор, — весело заговорил отец, обращаясь ко мне, — у Луковны сын приехал из Петербурга... Понимаешь? Две с половиной тысячи жалованья получает в год; мне двенадцать лет надо служить, а ему год, — понял?

Схватить шапку и стремглав броситься из комнаты — было для меня делом минуты; издали еще я заметил, что окна в избушке Луковны завешаны чем-то белым и у ворот на лавочке, покуривая коротенькую трубочку, сидит солдат, которого я сначала чуть не принял было за самого доктора. Это, как оказалось после, был денщик доктора; на дворе стоял отличный дорожный экипаж, в каких ездили заводские управители. В дверях меня встретила сама Луковна, она выбежала босиком и, обняв меня, прошептала таинственно: «Спит». Появившаяся Лапа объявила то же самое не менее торжественно и, приподняв подол платья, показала щегольские польские

сапоги, которые подарил ей брат.

— Утром сплю я и вижу сон, — шептала Луковна, утирая концом своего фартука катившиеся по лицу слезы, — вижу, что плыву по воде... везде воды, точно море, и я даже испугалась и проснулась со страху, а тут колокольчик, слышу, к нам.

— Нет, мама, это я первая услышала! — смело перебила мать Лапа, еще раз показывая мне сапоги.

— Ну... ты, пусть по-твоему, — соглашалась Луковна, — тебя разве переспоришь когда? Подбежала я к окну, вижу: повозка; я как стояла, так ноги у меня и подкосились, села на лавку, а сама слова не могу вымолвить. Лапа меня спрашивает что-то, а я и сказать ничего не могу — и обрадовалась, и испугалась, и плачу, и смеюсь: как есть дура дурой. А он, мой голубчик Сережа, входит, увидел меня и говорит: «Здравствуйте, маменька»... Одиннадцать лет его, голубчика, не видала; он Лапу-то и не узнал совсем, а потом посмотрел кругом, как мы живем, на голые стены, сморщился, мой голубчик, обнял меня и ласково так говорит: «Трудно вам, маменька, жить...

Погодите, маменька, бог даст, поправимся!» А сам смеется, и я смеюсь, и плачу, и говорю сама не знаю что. «Ничего, — говорю, — Сереженька, не надо нам, только ты был бы счастлив да здоров». А он смеется, потом опять сморщился: «Зачем водкой это у вас, маменька, пахнет?» А это Кинтильян где-то нахлестался вчера, от него и несет, как от бочки.

— А ведь Меркулыча-то нет у нас, — улыбаясь, объявляла Лапа. — Сереженька-то, как приехал, спать захотел, а положить его нам и некуда... Вот мама разбудила Меркулыча и попросила его на время опростать комнату; он сейчас согласился, взял одеяло, подушку и ушел в волость спать.

— Только постарел он, Сереженька-то! — печально заговорила Луковна, прикладывая руку к щеке. — Худой такой стал, и глаза мутные, заморился с дороги-то.

— А денщика-то, Кирша, видел? — спрашивала Лапа.

— Шш... он за воротами сидит, — предупреждала Луковна, дергая Лапу за платье.

— Пусть сидит, ведь я не съем его, — огрызалась Лапа.

Мы самым подробным образом осмотрели экипаж, в котором приехал доктор, и я остался от него в восторге; внутри он был обит красным сафьяном, кожаный откидной верх был украшен какими-то медными бляхами, назади был приделан железный ящик с острыми гвоздями на верхнем крае — словом, это было образцовое произведение sui generis, [160] и я по крайней мере десять раз влезал в него, садился на козлы и по пути обшарил все карманы, где лежали скомканные клочки бумаги, объедки сыра и колбасы. Лапа несколько раз убегала в избу и наконец вернулась оттуда, неся в подоле пару бронзовых подсвечников, головную щетку, металлическую пепельницу и еще какие-то мудреные вещицы, назначение которых мы никоим образом не могли угадать.

— Зачем ты вытащила это? — ворчала Луковна, с любовью рассматривая блестящие вещицы. — Вот Сереженька встанет, он тебе задаст... еще изломаешь, пожалуй. Этакие подсвечники, поди, рубля три пара стоят, а ты их таскаешь зря.

— Нет, они восемь рублей стоят, мама, —

отвечала Лапа. — Я спрашивала солдата, он мне все рассказал.

— Маменька, маменька... где вы? — послышался из комнаты голос доктора. Лапа со страху выпустила из рук подол платья, и блестящие вещицы покатились по земле.

На крыльце показался небольшого роста белокурый господин, одетый в летний китель с армейскими пуговицами и офицерскими погонами; прищурив глаза от солнца, он внимательно посмотрел в нашу сторону, улыбнулся и проговорил приятным тенором:

— Здравствуйте, маменька...

— Ах, Сереженька, голубчик... — тяжело дыша и переваливаясь на ходу, бормотала Луковна. — Вы уж встали... Может, это мы вам помешали спать?..

— Нет, маменька, я выспался отлично, только какой-то страшный запах у вас в комнате.

— От луку, Сереженька, от луку... Уж извините меня, лук вчера варили, так луком и воняет.

Доктор улыбнулся, поправил шелковистые белокурые усы и трижды поцеловался с мате-

рью; я и Лапа чувствовали себя в это время очень скверно: я потому, что сидел на козлах чужой повозки; Лапа потому, что попалась на месте преступления и теперь не знала, что ей делать — идти здороваться с братом или поднимать раскатившиеся по двору подсвечники. Лапа кончила тем, что стремительно убежала в огород и спряталась за баню; доктор сильно поморщился от такой выходки и, указав глазами на валявшиеся по двору подсвечники, с упреком в голосе проговорил:

— Какая она у вас дикая, маменька.

— Она и людей-то не видела, Сереженька, вот и боится вас, — нерешительно защищала Лапу Луковна, заглядывая в глаза сыну.

Денщик, вытянувшись в струнку, стоял в воротах и совершенно безучастно, немигающим взглядом смотрел на происходившую перед ним сцену; доктор строго обратился к нему:

— Иван, подбери подсвечники, вычисти их и поставь на место.

— Слушаю-с, ваше благородие! — певучей фистулой протянул Иван, сделал налево кругом и направился солдатским шагом в мою

сторону.

— Какая-то гитара висит на стене, папиросы, окурки, — с легким раздражением в голосе заговорил доктор, закладывая руки в карманы темно-зеленых, с красной прошвой штанов.

— Это жилец у меня, Сереженька, это его гитара.

— А главное, маменька, этот ужасный запах!..

— Это тоже от жильца, Сереженька.

— Ах, маменька, маменька, ведь это очень неловко! Вот сестра совсем большая девушка, и рядом молодые люди.

— Сереженька, как же нам жить-то было?! — со слезами в голосе проговорила Луковна — Ведь с голоду приходилось умирать...

— Маменька, извините меня! — обняв мать, проговорил доктор. — Я не хотел вас обижать, мы это устроим помаленьку. Успокойтесь, маменька... Иван, приготовь мне умыться.

— Слушаю-с, ваше благородие! — прежней фистулой протянул солдат и боком шмыгнул в двери, куда за ним прошли Луковна и док-

тор.

Небольшое бледное лицо доктора с выпуклым громадным лбом и красивыми серыми глазами нравилось всем, а также его небольшая стройная фигура и маленькие белые руки; но мне он не понравился с первого раза отсутствием той простоты, которую дети так любят. Возвращаясь домой, я думал больше о докторском экипаже и дорогих подсвечниках, чем о самом докторе. Дома меня засыпали вопросами о докторе, его денщике, Луковые, но я рассказывал больше о докторской повозке, так что на меня рукой махнули и оставили в покое; в наших двух комнатках было все прибрано, отец надел новый подрясник, мать и сестры были в новых платьях — словом, все приняло праздничную обстановку, и я понял, что все это делалось в ожидании докторского визита. Особенно хороша была Надя в своем розовом барежевом платье и с канареечного цвета бантиком на шее; глаза у нее светились лихорадочным блеском, на полных щеках играл румянец, и я невольно засмотрелся на нее, точно это была совсем другая Надя, а не та, которая в стареньком, полинялом ситце-

вом платье вечно сидела за пяльцами; я только после понял, какое значение имело это барежевое платье в это утро и о чем думала мать, когда с чувством невольной гордости в сотый раз осматривала Надю, как художник смотрит на свое лучшее произведение. Вероч-ка была одета проще и громко роптала, что ей нельзя идти в новом платье в хлев; отец тоже был заражен томительным чувством общего ожидания и нетерпеливо ходил по гостиной, время от времени поглядывая в окно, не идет ли доктор.

Трудно описать то волнение, которое овладело нами, когда в конце площади показался наконец доктор в летнем кителе и с легкой тросточкой в руках: мать чуть не плакала, потому что на платье Нади отлетела где-то пуговица и никак не могли отыскать булавку; даже отец счел долгом что-то ощипывать на своем подряснике, с растерянным видом гладил себя одной рукой по громадному животу и несколько раз расчесывал волосы гуттаперчевой гребенкой, которую всегда носил с собой в кармане. Пока доктор шел до нашего дома, на рынке и у волости собралась целая тол-

па, которая с любопытством дикарей смотрела на доктора и вслух делала некоторые замечания, относившиеся главным образом к форме доктора, производившей решительный фурор; впереди всех стоял Рукин и громко переговаривался с Прошкой и Меркулычем, физиономии которых виднелись в окне волости.

— На меня смотрят, как на дикого зверя, — с улыбкой говорил доктор, здороваясь со всеми.

— Совсем дикий народ, Сергей Павлович, — отвечал отец, крепко пожимая руку доктора.

Дорогого гостя провели, конечно, в гостиную, самовар давно кипел, и Надя подавала чай, краснея до ушей; отец оживился, шутил, смеялся, гость держал себя свободно, но с большой выдержкой. Я лежал на печи, которая для меня заменяла и обсерваторию и кабинет, и внимательно вслушивался в разговор петербургского гостя, который во всем соглашался с отцом и постоянно говорил: «Да, да!» Появилась закуска и вино; доктор выпил полрюмки хересу, похвалил вино и особенно обратил внимание на закуску, причем

необыкновенно кстати сказал несколько комплиментов матери, которая совсем растерялась и даже покраснела, как институтка. В три часа был подан обед; гость рассказывал о Петербурге, несколько раз обращался с вопросами к Наде, стараясь поддержать с ней разговор, но сестра конфузилась и отвечала невпопад; отец после нескольких рюмок совсем разошелся и подробно раскрыл свою душу относительно поведения Амфилохия Лядвиева и горячо изложил свои планы, надежды и огорчения. Доктор делал внимательное лицо и постоянно повторял: «Да, да! Скажите?.. Это возмутительно!.. Да, да!» Мать давно заметила, что отец надоедает гостю, и едва могла остановить его; обед вообще прошел самым оживленным образом, и, когда гость ушел, все, кроме бедной Нади, чувствовали себя самым счастливым образом.

— Столичная штука! — глубокомысленно соображал отец. — Умен, бестия... И все соглашается; у этих петербургских у всех такое обыкновение: во всем соглашаются с тобой и всего наобещают. Нашто Амфилошка пес псом, а как съездил с владыкой в Питер, тоже

всем давай обещать: мягко стелют, да жестко спать. Подлец!

— Только Сергей Павлович здоровьем, кажется, слабоват, — заметила мать, чтобы замять разговор об Амфилошке.

— Какое здоровье: пальцем перешибить можно...

— И рост маловат, как будто.

— Да, недостает чуточку. Вот на меня бы мундир, Паша, надеть да эполеты прицепить... хе-хе!.. Я бы задал перцу Амфилошке несчастному!..

— А я думаю про Аполлошу, — задумчиво говорила мать, — если бы на него такой белый мундир надеть.

— В гвардию! Прямо в гвардию, — решил отец, подергивая плечами, точно на них чувствовал присутствие жирных эполет. — Будет хорошо учиться, и он может доктором быть.

Мать только вздохнула и сделала печальное лицо, а я лежал на печи и дал себе клятву, что непременно буду доктором, буду носить такой же белый мундир, как Сергей Павлович, а главное — у меня будет свой денщик, свой экипаж, подсвечники, подарю Наде от-

личные сапоги, так же заеду к знакомому священнику в гости, а за мной будут так же ухаживать, угощать меня, а я буду рассказывать о Петербурге и покручивать усы. «Вот, мол, вам и смотрите на меня, каков я человек есть, Кир Викентьевич Обонполов! Да-с»...

— А где у нас Кирша? — спросил отец.

— В своей канцелярии лежит, — улыбаясь отвечала мать.

— Хочешь быть доктором, Кирша? — спрашивал отец.

— Да, — отвечал будущий доктор.

— И отлично, мы с тобой, парень, тогда Амфилошку Лядвиева со всей консисторией в один узел завяжем. Верно?

— Верно. Я тебе, папа, подарю тройку лошадей тогда.

— О-го, спасибо, братец.

Понятное дело, что приезд доктора был для Таракановки настоящим событием и надолго сделался предметом разговоров, а доктор между тем жил себе в избушке Луковны, ни с кем не знакомился и не бывал нигде, кроме нашего дома, что очень польстило всем нам! Когда по утрам доктор уходил ку-

паться или гулять, я, пользуясь его отсутствием, проникал в избушку Луковны и с жадным вниманием осматривал все, что было в ней нового, — мягкие ковры, походную железную кровать, несколько книг, разложенных на лавке в величайшем порядке, а главное, письменный стол, на котором была целая коллекция самых заманчивых штучек; как будущий доктор, я очень внимательно присматривался к этой обстановке, хотя и не мог преодолеть чувства невольного страха при виде большого ящика с хирургическими инструментами. Избушка Луковны была теперь неузнаваема: стены были оклеены голубыми обоями, на полу настланы ковры, поставлен диван, стулья и круглый десертный стол; на стенах было навешено несколько олеографий, в комнате Меркулыча стояли дорожный умывальный прибор, дорожный чайный погребец и шкатулка с столовым серебром. На окнах появились коричневые занавески и белые шторки, двор был выметен, даже поправлен покосившийся забор в огороде. У Луковны и Лапы появился целый ряд дорогих подарков, которые они тащили прежде всего по-

казать к нам, возбуждая наше общее удивление, восторг и зависть. Странное дело, раньше я никогда не испытывал этого чувства, потому что хорошо было только то, что было в нашем доме; а тут вдруг появились подсвечники в восемь рублей пара, столовые ложки в полтораста рублей дюжина, золотые часы в двести рублей, бархатные ковры в пятьдесят рублей, денщик, почтительно покашливавший в передней; словом, мои глаза открылись, и я понял истинные причины нашей фамильной гордости и от всей души возненавидел художественные заплатки и все остальные проявления вопиющей бедности, в когтях которой так крепко сидела наша семья.

Все вещи, которые привез доктор с собой, мы знали наперечет, и в нашем доме происходили длиннейшие разговоры о сравнительном достоинстве какой-нибудь серебряной сахарницы и дорожного томпакового самовара; мать принимала особенно горячо к своему сердцу все, что привез с собой доктор, так что отец даже рассердился на нее и каким-то обиженным тоном проговорил:

— Ну, пошли в чужом рте зубы считать...

Разве это хорошо? Если есть что — и слава богу, на две с половиной тысячи можно завести, а вот если бы Сергей Павлович без этих денег завел все это, тогда бы другое дело. Дай мне две-то тыщи, так и я всего накуплю.

Отец мало обращал внимания на докторские вещи, он даже как будто был недоволен ими и все говорил о двух тысячах жалованья, которые положительно не давали ему спать; мать, наоборот, совсем увлеклась одними вещами и ни о чем другом больше и говорить не могла. Бедная мать, она теряла свой здравый смысл под блеском докторского серебра, и мне положительно делалось ее жаль, особенно раз, когда Лапа в пылу увлечения совсем расхвасталась и начала подробно описывать те вещи, которые остались у брата в Петербурге и которых она не видела; совсем позабывшись, Лапа начинала рассказывать, как они поедут все в Петербург и как будут жить там.

— Нас тогда не забудьте, Олимпиада Павловна, — ядовито заметила мать, задетая за живое этим хвастовством. — Только я так думаю, что в Петербурге много людей, даст бог

Сергей Павлыч женится на богатой невесте, пожалуй, и не уживетесь с богатой-то снохой.

Лапа только улыбалась, глубоко уверенная, что для них с матерью наступил теперь золотой век и что с этой позиции сбить их не в силах никакая богатая сноха; но ей вскоре пришлось жестоко раскаяться в своей излишней доверчивости. Луковна отлично знала жизнь и людей и не обманывала себя розовыми надеждами, по-прежнему оставаясь скромной и почтительной; доктор купил ей материи на несколько платьев и строго следил за ней, чтобы она не смела ходить в старых тряпках. Последнее обстоятельство и радовало и вместе смущало Луковну; ей до смерти хотелось спрятать все покупки в ящик на черный день, в который она продолжала верить по старой привычке; меня удивляла эта скромность Луковны, и я с детской откровенностью высказывал ей занимавшие меня мысли.

— Ой, голубчик, голубчик, мало еще ты на белом свете жил, — покачивая головой, говорила Луковна. — Сереженька сегодня здесь, а завтра нет его, я и осталась опять в своей из-

бушке. Так-то, Кирша.

Мы были уверены, что Луковна по крайней мере сейчас же откажется от должности просвирни, а когда мой отец намекнул ей об этом, она обиделась и горько заплакала, так что отцу стоило больших трудов успокоить ее.

— Зачем я буду, отец Викентий, чужой хлеб есть, когда еще свои руки работают, — говорила Луковна, утирая глаза кончиком белого носового платка, который она была обязана теперь иметь постоянно при себе, чтобы не обходиться с своим носом посредством пальцев, как это она раньше делала.

— Вот умная старуха! — говорил отец после ухода Луковны. — Ее, брат, не проведешь... Свои, говорит, руки работают. Молодец!

Я исправно посещал Луковну и делал свои наблюдения, которые ставили меня в некоторое недоумение относительно доктора. Он даже смутил меня своим странным поведением. Утром он вставал часов в восемь, и боже сохрани, если что-нибудь будило его раньше времени: он вставал темнее ночи, бледный, с

мутными глазами и придирался ко всему и ко всем; денщик Иван первый входил в комнату проснувшегося барина подать ему сапоги, умыться, чистое белье. Луковна стояла в это время в сенях и со страхом ожидала появления Ивана; если он шептал: «Благополучно!», — Луковна крестилась и переводила дух, а если Иван ничего не отвечал, значит, дело было плохо. Бедной Лапе доставалось больше всех в эти дурные дни, и доктор просто не давал ей проходу: не так вошла, не вовремя улыбнулась, говорит, когда не спрашивают, размахивает руками — словом, доктор находил в сестре тысячи недостатков, над которыми смеялся самым беспощадным образом, так что бедная Лапа через неделю совсем возненавидела своего брата и ворчала себе под нос:

— Уж скоро ли унесет от нас этого ворчуна... Подарил на платье да ботинки, так думает, и можно из меня жилы тянуть, как из каторжной. Да я лучше пойду полы мыть, чем слушать его... Все неладно! А где я возьму ладно, если меня не учили ничему!

— Лапа... Дура ты, дура набитая! — с укоризной останавливала Луковна дочь. — Разве

так можно говорить про брата? Разве он худа желает, брат-от?

— Да что, мама, далась я вам такая несчастная, что всякой меня может день-деньской бранить... Ведь он, как пила, пилит меня! Ведь я не деревянная...

— А ты говоришь, дура, одни глупые слова; а того не подумаешь, что Сереженька болен... Краше в гроб кладут! Вон ему подашь кусочек какой, он обнюхивает его, попробует, сморщится и оставит: «Нет, маменька, я что-то не хочу сегодня есть»... Легко ему, моему голубчику? Ты вон зеленого луку как-то наелась да вошла в комнату, так он только ручками замахал и глазки закрыл...

— А я чем виновата? Не нравится — ударь меня, а не пили целый день... Ведь я тоже человек, а не бревно.

— Нет, ты бревно бесчувственное! — с азартом уверяла Луковна. — В тебе нет жалости, ты наелась — сыта, и трава не расти... Как есть не понимаешь ничего!

— Куда уж нам, деревенщине, с образованными людьми знаться... Я вон похудела как. Право, хоть в воду сейчас.

— А это знаешь? — внушительно говорила Луковна, показывая Лапе кулак. — Кто ты есть за человек? Грязь, пыль и больше ничего.

Как ни защищала Луковна сына и как ни была терпелива, но и она несколько раз всплакнула втихомолку, потому что ей иногда приходилось невтерпеж. Доктор был чистоплотен, как кошка, и одевался по целым часам; бедный Иван по десяти раз подавал ему одну и ту же вещь, уносил ее чистить и снова приносил, пока доктор не оставался ей доволен. Если пуговица была пришита некрепко, на сорочке сидело малейшее пятнышко, где-нибудь давило или жало, — доктор выходил из себя и впадал в состояние полного малодушия. Раз Лапа починила ему военный галстук из черного атласа, который доктор носил под жилетом; доктор с четверть часа примерял этот галстук перед зеркалом, а потом вошел в комнату, где жил Кинтильян и где мы теперь сидели, и без всякого звука, молча подал галстук Лапе, указывая рукой на какую-то черную ниточку, которая торчала из обрубленного края галстука. Я взглянул на

доктора и даже испугался: его красивое, умное лицо было в эту минуту просто страшно, и на нем было написано такое внутреннее страдание, точно он приговорен был к смерти. Эта несчастная ниточка испортила доктору целый день, и он ходил из угла в угол все время темнее ночи, нервно покручивая усы и постоянно закладывая и вынимая из карманов свои белые руки. В другой раз на знаменитых бронзовых подсвечниках оказалось небольшое зеленое пятно от капнувшего стеарина, которое Иван не досмотрел и не уничтожил вовремя. Доктор молча указал рукой денщику на это пятно и опять посмотрел кругом таким убийственным мутным взглядом, от которого Иван, заложив руки за спину, даже попятился.

Я от слова до слова слышал любопытную сцену, которая происходила вслед за обнаружением пятна; доктор с полчаса ходил по комнате, а когда Иван поставил на прежнее место вычищенный подсвечник, он остановил его в дверях.

— Иван...

— Чего изволите, ваше благородие? — ото-

звался денщик, вытягиваясь в струнку у порога.

— Ты всем доволен, Иван?

— Очень доволен, ваше благородие!

— У тебя все есть, Иван?

— Все-с, ваше благородие!

— Может быть, у тебя денег недостает, Иван?

— Деньги есть, ваше благородие-с!

Доктор молча ходил по комнате; потом, остановившись, заговорил глухим, совсем упавшим голосом:

— Если ты доволен, Иван, зачем же ты сделал меня больным на целый день?

— Слушаю-с, ваше благородие...

— Дурак!.. Ведь ты знаешь, что я не выношу беспорядка в моих вещах... Да? Знаешь? Я люблю, чтобы у меня всякая вещь на своем месте лежала... Все было чисто, опрятно, прибрано, а тебе лень вычистить подсвечник.

— Я, ваше благ...

— Молчи, болван! И еще оправдывается, каналья?!.. — в каком-то отчаянии, заломив свои белые руки, заговорил доктор. — Виноват кругом, каналья, и оправдывается!

— Виноват, ваше благородие!

— Ты не понимаешь, как все это действует на меня: я не выношу беспорядок... Я для тебя все готов сделать, а ты... Третьего дня прихожу, — пепельница передвинута, чернильница открыта... Ты, Иван, кажется решился уморить меня.

— Слуш...

— Убирайся вон, дурак!..

После таких сцен доктор приходил в комнату Луковны, садился на стул и начинал ей жаловаться с какой-то детской наивностью:

— Вот, маменька, какие люди бывают!.. Да, маменька.

— Зачем же вы, Сереженька, так огорчаете себя, — утешала Луковна: — Позвольте я буду убирать вашу комнату, может быть, я сумею лучше сделать...

— Ах, маменька, маменька... Где же вам?!.. Вы не знаете, а Иван все знает: он не хочет, маменька. Он назло все делает мне, маменька...

В Таракановке, как в самом глухом медвежьем углу, не было места тайнам; поэтому скоро по всему заводу стали говорить о стран-

ностях доктора самые невероятные рассказы и даже делали предположения, что он немного «тово», «тронулся умом». До Луковны, конечно, доходили эти слухи через десятые руки, но она отмалчивалась и только покачивала головой; ее беспокоило больше всего то обстоятельство, что ее Сереженька никогда не молится; раз она решилась заговорить с сыном об этом щекотливом обстоятельстве.

— Смотрю я, Сереженька, что вы как будто не молитесь...

Обыкновенно Луковна очень осторожно относилась к сыну и даже побаивалась его, но когда речь зашла о его душе, сна держала себя даже строго.

— Некогда, маменька, — уклончиво отвечал доктор, улыбаясь своей загадочной улыбкой.

— Вот вы, Сереженька, говорите: «некогда», а я так думаю: вам некогда, вот у вас нездоровье и привязалось... Помолились бы вы хорошенько, на душе спокойнее, выспались хорошенько — вот и здоровье. Я шестой десяток доживаю, а бог хранит, не помню, чтобы когда хворать... Оборони, владычица!

Вот будет воскресенье, Сереженька, как бы это даже отлично было, если бы вы в церковь сходили... а? Помните, как маленьким были, тогда любили в церковь-то ходить, ни одной заутрени не пропущали и все, бывало, на клирос.

— И теперь, маменька, я с удовольствием встал бы на клирос, да вот все некогда... Право, маменька, совсем некогда.

Как доктор ни упирался и как ни было ему некогда, Луковна настояла на своем, и он в ближайшее воскресенье отправился в церковь во всем блеске своего армейского мундира и жирных эполет; густая толпа народу почтительно расступилась перед ним, он встал у самого амвона и, не пошевельнувшись, простоял, как вкопанный, целую обедню. После обедни ему поднесли просфору, которая заметно смутила его; мы с Меркулычем стояли на клиросе и лезли из кожи, чтобы показать свое искусство; но легко себе представить наше удивление, когда Сереженька выразился о нас таким образом: «что это, маменька, за козлы у вас на клиросе поют?» Как истинный артист, я не мог простить доктору этого

оскорбления; Меркулыч был тоже возмущен до глубины души таким отзывом и не без достоинства проговорил:

— Уж важничает очень... Идет к вам как-то по улице, а я смеюсь Прошке: «Точно с молоком идет, боится рукой шевельнуть».

Несмотря на это недоразумение, доктор был удостоен посещением Меркулыча, Рукина и Января Якимыча.

Меркулыч совершал свой туалет с особенным тщанием; Рукин одет был в длиннополый кафтан, а Январь Якимыч в темно-зеленый сюртук с узенькими рукавами и с широко отложенным воротником. Пукольки на височках были подвиты самым тщательным образом.

— Уж вы предоставьте все мне, господа... все. Я уж знаю, как с ним вести дело, — хитро подмигивая одним глазом, объяснял Январь Якимыч: — Рыбак рыбака видит издалека... Я бы не пошел, пожалуй, да, знаете, как-то неловко. Подумает еще, кошки его залягай, что мы столичных порядков не понимаем. Не-ет, Сергей Павлыч, и мы кое-что видали. Ты, Меркулыч, пожалуйста, не крякай, это не

принято в хорошем обществе, а ты, Емельян Иваныч, имеешь привычку сморкаться при помощи одних перстов, — это, батенька, уж совсем неприлично! Хе-хе!.. Относительно разговору вы уж надейтесь на меня, как на каменную стену... Мы и сами не левой ногой сморкаемся, кошки его залягай. Да-с.

После довольно продолжительного совещания депутация торжественно двинулась из волости к избушке Луковны: впереди шел Январь Якимыч, как-то особенно семеня ножками, за ним в молчании следовали Меркулыч и Рукин. Сергей Павлович был дома и сделал самое недовольное лицо, когда денщик доложил ему о желании каких-то людей непременно видеть его.

— Скажи им, что меня нет дома, — объявил Сергей Павлович.

— Сереженька, голубчик, зачем вы так делаете... — вступилась Луковна: — ведь они хотят честь вам оказать.

Доктор несколько минут не решался, а потом велел деньщику впустить депутацию, проговорив: «Уж только для вас, маменька»...

Когда депутация показалась в дверях, мы с

Лапой заняли наблюдательный пост в окне. Январь Якимыч не без ловкости расшаркался и проговорил:

— Граждане Таракановского завода имеют честь поздравить вас с приездом, Сергей Павлович...

Меркулыч и Рукин поклонились безмолвно.

— Очень рад, очень рад, господа... Садитесь, пожалуйста, — торопливо заговорил доктор, с изысканной любезностью подавая Январю Якимычу стул: — Я вас помню, Январь Якимыч.

— Конечно, мы маленькие люди... очень маленькие, — в прежнем торжественном тоне продолжал Январь Якимыч: — а ведь мы чувствуем. Да-с. Некоторым образом вы, Сергей Павлыч, составляете нашу гордость. А позвольте узнать-с, — совсем другим тоном заговорил старик: — вы в каком заведении изволили довершить свое образование?

— В Медицинской академии.

— В Петербурге-с?

— Да.

— Отличный городок-с... Я так полагаю,

что теперь там этакие разные чудеса понастроены: висячие мосты, пирамиды-с...

Январь Якимыч держал себя молодцом и все время не слезал с высокого тона, которым хотел запустить пыли в глаза; доктор был необыкновенно внимателен к своим гостям и старался занять их, но Меркулыч и Рукин упорно отмалчивались и только мычали и кланялись, когда доктор обращался к ним. Рукин долго смотрел на Сергея Павлыча умиленными глазками и, наконец, проговорил:

— А ведь я вас вот эконьким помню (Рукин показал от полу с пол-аршина), когда еще, можно сказать, вы без штанов по улице бегали... Гм!..

Этот визит продолжался около часу. Доктор был вежлив, внимателен, постоянно улыбался и постоянно повторял: «да, да... да». Январь Якимыч разошелся совсем и на прощание таинственно сообщил доктору:

— Когда вы поедете отсюда, Сергей Павлыч, может быть, дорогой... могут на вас сделать нападение злоумышленники. Я вам дам маленький совет: как только злоумышленники приблизятся к вашему экипажу, вы вынь-

те табакерку (Январь Якимыч достал из кармана серебряную табакерку, открыл ее и захватил двумя пальцами щепоть табаку) и вот таким образом прямо в глаза-с... табаком-с. Самое верное средство-с! Лучше всякого револьвера.

— Благодарю вас, только я совсем не нюхаю и, к сожалению, не могу воспользоваться вашим советом, — отвечал доктор.

— Жаль, очень жаль. Я в бумажку отсыплю вам табачку, Сергей Павлыч, а вы им в глаза, кошки их залягай!

— Нет, благодарю вас.

— Не желаете? Так я вашему камердинеру передам...

Этот знаменитый «визит к доктору» наделал много шуму в Таракановке, главным его героем был, конечно, Январь Якимыч, который доказал всем, что и «мы не левой ногой сморкаемся». Оборотной стороной этого визита был неожиданный отъезд доктора. Случилось это таким образом. Кинтильян с приездом доктора был скрыт Луковной в бане и по причине сильнейшего винного запаха, которого доктор не переносил, совсем не являлся

на глаза братцу; визит Января Якимыча, Меркулыча и Рукина задел Кинтильяна за живое, и поэтому в одно прекрасное утро, когда Луковна совсем забыла о своем блудном сыне, он появился в дверях комнаты Сергея Павлыча и молча вытянулся во весь свой богатырский рост у косяка. Для храбрости Кинтильян «дернул пенного» и посмотрел на доктора осовелыми, глупыми глазами. Луковны не было, денщик Иван был куда-то послан. Сергей Павлыч со страхом посмотрел на безмолвно стоявшего верзилу и проговорил:

— Вам... вам кого нужно?

Кинтильян слегка покачнулся, посмотрел на доктора мутными глазами и, сделав два шага вперед, проговорил:

— Здравствуйте, братец...

В этот критический момент в дверях показалась Луковна. Доктор, показывая пальцем на Кинтильяна, глухо проговорил:

— Маменька, он убьет меня...

Луковна в шею выпроводила Кинтильяна, но доктор так был встревожен посещением братца, что никак не мог успокоиться целый день, не спал всю ночь, а наутро денщик

Иван уложил вещи доктора в экипаж, и доктор уехал. Луковна долго стояла за воротами, провожая глазами удалявшуюся повозку и утирая концом передника слезившиеся глаза; она была убита и огорчена до последней степени, но не за себя лично, а за своего ненаглядного Сереженьку, которого «не грело красное солнышко и не кормил хлеб-батюшко». О себе, о своем личном счастье старуха не думала и теперь, как не думала об этом целую жизнь.

Луковна и Лапа остались в своей избушке, и обе вздохнули свободнее, точно гора с плеч свалилась. Доктор при отъезде говорил, что отслужит свой срок военным врачом, поступит куда-нибудь на службу в город и тогда возьмет к себе мать и сестру; Луковне он оставил сколько-то денег и дал слово высылать ежемесячно небольшую сумму. На другой же день после отъезда доктора Кинтильян и Меркулыч заняли свои каморки, и колесо нашей жизни тихо завертелось своим обычным ходом; вечером опять мы собирались за самоваром в избушке Луковны и подолгу толковали о разных разностях.

— Хотел я Сергею Павлычу одно местечко показать, где утят хоть руками бери, — говорил Меркулыч, попыхивая папироской и сильно встряхивая своими напомаженными волосами. — Отличное место!

— Уж какие ему утята! — махнув рукой, говорила Луковна. — Ему жареного-то утенка не поймать на тарелке.

— Отчего он такой сделался? — спрашивал Меркулыч.

— От ученья, батюшка, все от ученья, — отвечала совершенно чистосердечно Луковна: — я как-то насмелилась и спросила его об этом, а он мне и говорит: «Трудно, маменька, учиться было...» — Что же, говорю, учителя, говорю, строгие были? — «А вот, говорит, маменька, бывало так: принесут покойника, учитель придет, возьмет нож и давай его пластать, а ты стоишь и смотришь. А как, говорит, учитель-то рассердится, маменька, да ножом?» Вот от страху сердце-то, видно, издрожалось, он теперь и скудается здоровьем... Вышел как-то на полянку утром, прилег на травку, где маленьким еще валялся, погрелся на солнышке, а потом печально таково гово-

рит: «Нет, маменька, видно, и солнце уж не греет меня...» Он ведь всегда так мудрено говорит, что не скоро его поймешь: такой уж мудреный вышел.

Этот «мудреный» доктор несколько поохладил мои мечты непременно быть доктором, а рассказ Луковны об учителе с ножом поверг меня даже в уныние, пока отец не убедил меня, что все это пустяки и что Сергей Павлыч просто пошутил над матерью. Вообще доктор не оправдал тех ожиданий, какими мы все жили в первую минуту его приезда; розовое барежевое платье Нади опять было спрятано в ящик, значит, была не судьба исполнить ему предназначенную роль.

Глава 5

После отъезда доктора курсы Луковны сильно поднялись, потому что, как-никак, а все-таки она теперь была «докторова мать», и все отлично помнили жирные эполеты доктора, его денщика и его экипаж; даже на Лапу перепала малая часть лучей докторского имени: все-таки и она была «докторова сестра», что в нашей захолустной иерархии имело большое значение. Сама Луковна осталась

прежней Луковной, нимало не гордилась своим новым званием и по-прежнему работала без устали; я немало удивлялся такой скромности с ее стороны и не раз высказывал ей, что она теперь достигла полного и безмятежного счастья, которое ничто не в состоянии разрушить.

— Ах, Кирша, Кирша, какой ты глупый человек! — добродушно говорила мне Луковна: — как знать вперед: сегодня я докторская мать, буду зазнаваться, а завтра Сереженька умрет, тогда что?.. Нет, голубчик, он сам по себе, а я сама по себе: всяк сверчок знай свой шесток.

Меркулыч сильно изменился, сделался задумчив и рассеян; приходя к нему, я часто заставал его в таинственных беседах с Лапой, конечно, когда Луковны не было дома. Странное поведение Меркулыча скоро объяснилось: однажды Луковна явилась к нам и о чем-то очень долго и очень тихо разговаривала в гостиной сначала с отцом, а потом с матерью; когда она ушла, отец проговорил:

— Что же, — устрой, господи, на пользу; только нужно прежде посоветоваться с Серге-

ем Павлычем, что он скажет на это.

— По-моему, и писать не о чем, — отвечала мать: — разве так написать, для формы... Чего тут разбирать, дело самое подходящее, а для Лапы такого жениха днем с огнем поискать. Меркулыч человек обстоятельный; жалованье маловато, конечно, да Лапе-то жить не с жалованьем, а с человеком.

— Все-таки надо написать Сергею Павлычу и посоветоваться с ним, а то, пожалуй, еще обидится. Я напишу ему.

Отец долго сочинял письмо петербургскому доктору, несколько раз переписывал его, поправлял, читал матери и Луковне, наконец, оно было отослано в Петербург вместе с фотографией Меркулыча, и настал длинный срок самого мучительного ожидания, а Меркулыч и Лапа числились как жених и невеста, искали уединенных разговоров, перекидывались таинственными улыбками, и взглядами, и полусловами, как это прилично жениху и невесте.

О той жизни, какую мы вели с Меркулычем раньше, конечно, не могло быть и речи; я отлично понимал, что Лапа отняла у меня

Меркулыча, но отнесся к этому довольно равнодушно и даже холодно, потому что нужно было серьезно готовиться к поступлению в духовное училище и целые дни напролет зубрить латинские и греческие спряжения; мысль быть доктором произвела во мне решительный перелом, и я твердыми шагами шел к своей заветной цели и настолько увлекался своим будущим, что даже не обратил надлежащего внимания на такие выдающиеся факты, как получение разрешительного письма доктора на свадьбу Лапы и затем на самую церемонию этого торжественного события, в котором я принимал участие в качестве шафера со стороны невесты. Как сквозь сон, помню целый ряд церемоний, которые происходили теперь в избушке Луковны: рукобитье, обручение, девичники — все это для меня казалось скучной церемонией; зато мои сестры жили самой лихорадочной жизнью, работая вместе с другими девушками-подругами в избушке Луковны над приданым невесты. Полосы холста, штуки ситца, полотно, какие-то цветные материи, дешевые ленты, кружева, песни с утра до ночи — все это ме-

шалось в моей голове самым странным образом с латинскими спряжениями, катехизисом Филарета и тому подобными хитростями-мудростями бурсацкой науки, которая ожидала меня. Самая выдающаяся роль на этой свадьбе выпала на долю добрейшего Января Якимыча, он целые дни хлопотал без устали, суетился, бегал и всем страшно мешал. Расходившийся старичок помогал даже кроить, шил вместе с подругами невесты и тоненьким дребезжащим голоском пел с ними песни. В день свадьбы после «венца» Январь Якимыч, поздравляя молодых, выпил несколько рюмок лиссабонского и по непривычке к вину сразу захмелел, что послужило началом целому ряду презабавных сцен: он пел петухом, показывал, как пьет воду курица, и каким-то бабьим голосом выкрикивал: «Слава тебе, господи!.. Слава тебе, господи!.. Устрой, господи, на пользу... Родимые мои! Олимпиада Павловна... Иван Меркулыч... Слава тебе, господи!..»

Итак, Меркулыч женился и зажил с молодой женой в небольшом домике, который купил на последние гроши, какие были скоплены им в течение десяти лет; а Луковна оста-

лась в своей избушке одна и ни за что не соглашалась жить у зятя, как последний ни упрашивал ее об этом. Это странное упорство старухи сильно удивило всех, в том числе и меня, и все решили, что Луковна думает переехать к сыну в Петербург, но сама она ни слова не говорила об этих намерениях и продолжала вести в своей избушке прежний образ жизни, изредка навещая дочь.

— Настоящая медведица, не хочет расставаться с своей берлогой, — шутил иногда отец.

— Мне немного надо, — говорила Луковна: — корочку хлеба — вот и сыта, а в своем углу все-таки спокойнее.

Наступило лето, брат Аполлон приехал на каникулы, и я стал заниматься под его руководством, потому что отец прихварывал и ему трудно было следить за моими занятиями. Эти каникулы были для нас очень тревожным временем. Аполлон кончил духовное училище и осенью должен был поступать в семинарию, где ему нужно было сдать вступительный экзамен.

Он сильно вырос и возмужал и старался

держать себя совсем как большой, особенно с барышнями, говорил с ними загадками, старался смешить их и постоянно улыбался самодовольной улыбкой, немилосердно пощипывая верхнюю губу, на которой выступал черный пушок — гордость и слабость Аполлона. Мы иногда ходили к Меркулычу, но я находил эти посещения скучными, а Аполлон выбирал такое время, когда самого Меркулыча не было дома, и до слез смешил Лапу самыми смешными анекдотами. Мать хотя и косилась на такое поведение своего любимца, но молчала до поры, до времени, потому что видела в этом только развлечение для молодого человека. Наконец наступил конец июля, роковой экзамен был на носу, и Аполлоша храбро отправился в губернский город, где была духовная семинария. Я остался дома до половины августа, мне торопиться было некуда.

Две недели неизвестности, которые мы пережили во время экзаменов Аполлона, показались мне вечностью, и в нашем доме царило самое тяжелое уныние, борьба между страхом и надеждой. Погода стояла дождливая, и в длинные темные вечера происходили бес-

конечные разговоры, догадки и предположения, предметом которых был Аполлон. Как теперь помню этот несчастный августовский вечер, когда мы сидели всей семьей за чаем; дождь лил, как из ведра, порывистый ветер дергал ставни и дико завывал в трубе. Мать была особенно задумчива и грустна, Надя и Верочка сидели смирно, не смея шевельнуться, отец ходил по комнате, заложив руки в карманы казинетового подрясника; в это время послышался шум подъехавшей телеги и легкий стук в окно. Мы переглянулись, мать побледнела и выронила из рук чайную ложку, которая неприятно зазвенела о чайное блюдечко.

— Видно, с требой? — нерешительно проговорила мать; я видел, как ее рука дрожала на скатерти.

Отец молча подошел к окну, отворил форточку и как-то бессильно опустился на стул, точно у него подкосились ноги; я никогда не забуду выражения его лица, полного муки, гнева и отчаяния.

— Боже мой, боже... — тихо проговорил отец, хватаясь за голову.

Через минуту в комнату входил Аполлоша с своим чемоданчиком, весь мокрый, бледный, но с таким решительным выражением на лице, что я сразу не понял всей трагичности наступившего момента.

— Аполлоша, Апол... — крикнула мать и бросилась на шею к стоявшему с чемоданчиком в руке Аполлону.

— Обзатылили... — шептал отец, а потом так дико захохотал и с такой силой ударил кулаком по столу, что я отшатнулся от него. — Обзатылили... О, подлецы! — застонал отец, хватаясь за голову.

— Викентий Афанасьич... — тихо заговорила мать, переходя к отцу. — Викентий Афанасьич...

— Паша... Паша... — бессвязно бормотал отец, не удерживая больше слез, которые ручьем катились по его лицу, усам и бороде.

— Успокойся, Викентий Афанасьич...

— Пашенька... ведь это устроил *тот!* — с искаженным лицом закричал отец, порываясь из рук матери. — Это Амфилошкиных рук дело... Это он, он, он!..

Матери стоило больших усилий успокоить

убитого отца; сестры плакали, брат по-прежнему стоял с чемоданом в руках и щипал верхнюю губу, я смотрел на всех с открытым ртом, и у меня только теперь сжалось детское сердце за всю эту немую сцену, свидетелем которой я был.

С отцом сделался истерический припадок — он то дико хохотал, то плакал; едва к утру нам удалось привести его домашними средствами в более спокойное состояние, и он, наконец, заснул тяжелым, тревожным сном; мы все не спали целую ночь. Аполлон сидел безмолвно в углу, облокотившись на стол и положив голову на руки, точно теперь это была для него совсем лишняя вещь, которая мешала ему; мать тихо плакала, сидя рядом с ним, я лежал в своей «канцелярии» и слушал, как о чем-то тихо шептались сестры, а потом Надя подошла к матери и проговорила:

— Перестань, мама... Ты плачешь... точно Аполлон умер. Ведь живут же другие люди, — не всем кончать курс в семинарии и быть священниками.

Мать была поражена этими словами, она

совсем не ожидала этого от сестры, которой руководил теперь тот женский инстинкт, благодаря которому женщина всегда скорее найдется, что нужно делать в критических обстоятельствах, чем мужчина.

Я со страхом ожидал следующего дня, но он оказался легче, чем я думал. Рано утром брат ушел куда-то и вернулся вместе с Меркулычем, присутствие которого теперь очень обрадовало меня. Бывают такие положения, когда оставаться с глазу на глаз в своей семье делается невыносимым, и в эти тяжелые минуты присутствие постороннего человека снимает половину тяжести, хотя этот посторонний человек ничем не может помочь вам и слова его утешения вы слушаете иногда из простой вежливости, а между тем, совершенно незаметно, именно это бесполезное слово участия воскрешает вас. Так было и теперь, и, как я узнал после, брата послала к Меркулычу та же простенькая Надя, догадавшаяся раньше других, чем помочь горю и как успокоить отца, когда он проснется.

Итак, Меркулыч явился к нам и, сидя на лавке, осторожно покашливал в руку, в гости-

ной слышались тяжелые шаги, глубокие вздохи и кашель, наконец, в дверях показался отец, постаревший за ночь на несколько лет.

— А, это ты пришел... — совершенно равнодушно проговорил отец, точно он был уверен найти Меркулыча здесь.

— Да-с, пришел проведать вас, отец Викентий...

— Да, братец, обзатылили отца Викентия, совсем обзатылили!

— Зачем-с, отец Викентий... Это вы даже совершенно напрасно-с... Ей-богу, так-с.

В затруднительных случаях Меркулыч имел привычку прибавлять к каждому слову «с» и постоянно утирал лицо платком, как-то забавно отдувая свои розовые щеки. Один вид этого свежего, довольного человека подействовал хорошо на отца; он взял его под руку и увел в гостиную.

— Так ты говоришь, что напрасно? — спрашивал он Меркулыча то самое слово, которому он не верил.

— Совершенно даже напрасно-с, отец Викентий, — покашливая, отвечал Меркулыч: — Сгоряча оно точно иногда горячку порешь, а

потом одумаешься... Вы рассудите так: вот вы сами отличный аттестат имеете, кончили курс в семинарии, а какое ваше положение?..

— А-ах, Меркулыч, Меркулыч! — застонал отец. — Ведь меня кто придавил: Амфилошка Лядвиев... Да!..

— Амфилошка Амфилошкой-с, отец Викентий, а и сами вы не правы, — вкрадчиво заговорил Меркулыч, раскуривая папиросу и усаживаясь на кончик стула, причем он бережно загнул фалды своего казинетового пиджака. — Да, вы сами не правы.

— Я? Не прав?!..

— Да-с, — по-прежнему кротко отвечал Меркулыч, пуская с необыкновенным искусством колечко синего дыма. — Сделаемте такое рассуждение, отец Викентий: вам встал поперек дороги консисторский секретарь Лядвиев и не дает ходу, а вы бы собрались как-нибудь, да рыбки ему пудик послали, шишечек кедровых, чайку фунтик...

— Да я ему, подлецу...

— Позвольте, отец Викентий, — мягко остановил отца Меркулыч. — Я хочу сказать, что вы не хотите покориться под Лядвиева и

оказать себя подлецом... Так-с?

Отец понял, к чему клонились подходцы Меркулыча, посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил:

— А ведь ты умным человеком оказываешь себя... Извини, брат, не ожидал... Ты, значит, только по виду-то прост кажешься?

— Уж как мать родила-с, отец Викентий, — нисколько не обидевшись грубоватой откровенностью отца, отвечал с улыбкой Меркулыч. — Без хитрости по нонешним временам даже совсем невозможно-с: курица, и та норовит заклевать тебя. А я, собственно, к тому веду речь, что вы напрасно изволите так сокрушаться об Аполлоне Викентьиче: может, у них судьба такая. А я, грешный человек, иногда смотрю на вас, и вчуже мне жаль вас делается: человек вы образованный, с головой человек-с, и вдруг Лядвиев вас заключает в Таракановку... Вот я маленький человек, а я счастливее вас, потому я вольная птица: не захочу служить, буду торговать, и никто мне ее указ. И выходит, что при моей глупости мне не в пример легче вашего жить. Теперь возьмем Аполлона Викентьича: образо-

вание они для себя получили достаточное, поступят на завод, а лет через пять-шесть, глядишь, будут получать жалованья вдвое больше нашего. Человек он аккуратный, можно сказать, вполне самонадеянный, начальство увидит ихние труды, вот вам и отлично всем будет. Притом вот теперь Кира Викентьича тоже нужно в науку посылать, деньги нужны-с, а на двоих-то у вас, пожалуй, и недостало бы: и лета ваши не такие и здоровье слабое. А теперь что-с? Аполлон Викентьич поведут себя в лучшем виде-с и не только свою голову будут пропитывать, а и вам помогать станут за ваши заботы о них. Вот и выйдет так, что и вам будет лучше-с, и Кир Викентьич будут происходить свою науку-с... Да-с! Вы уж извините меня, отец Викентий, а я вам даже откровенно скажу-с, что нынче быть молодому человеку священником даже не в моде-с...

— Ну, это, брат, положим, что ты и врешь, а все-таки не ожидал... Нет, не ожидал в тебе такой прыти! Ты молодец... В самом деле: черт с ними со всеми!.. Наплевать!..

— Совершенно верно-с. Ведь шесть лет

нужно было тянуть лямку-то и на вашей шее при этом...

— Вер-рно!..

— Оно сначала и мне это обидно показалось, а потом обсудил я это самое дело: не стоит-с!..

— Не стоит шкура выделки?

— Так точно-с.

Мать слышала весь этот разговор и с веселым лицом вошла в комнату.

— А я ведь то же самое думала, Викентий Афанасьич, — проговорила она: — разве уж только и свету в окне, чтобы в священники поступить...

Мы все собрались в гостиной, явился самовар, и в комнате раздался веселый говор и самый беззаботный смех: туча прокатилась; Аполлон рассказывал о своей поездке, о п-ской семинарии, профессорах и экзаменах. Отец смеялся вместе с другими и рассказывал о том, как сам учился в семинарии. Повторяя вечную историю об Амфилошке Лядвиеве, отец говорил уже в шутливом тоне:

— Подлец он, Амфилошка... А ведь вместе двенадцать лет учились... на одной парте си-

дели! А вот теперь придавил меня ногой, и баста... Думает: задушу, а может, бог-то и не оставит меня именно за его, Амфилошкину, неправду... Так?

— Злохудожественный человек, отец Викентий, — прибавил Меркулыч, поправляя розовый галстучек на шее.

Глава 6

В августе месяце я расстался с Таракановкой и поступил в четвертый (последний по прежним порядкам) класс уездною духовного училища, находившегося в заштатном уездном городишке Гавриловске, при знаменитом Гавриловском монастыре. От Таракановки до Гавриловска было больше двухсот верст, и до губернского города Прикамска от Таракановки считали четыреста верст; притом жизнь в Гавриловске была вдвое дешевле, чем в «губернии», поэтому отец и отправил меня туда. Первое, что мне бросилось в глаза еще дорогой, это то, что по мере приближения к Гавриловску местность все понижалась, делалась ровнее, вечнозеленый дремучий хвойный лес сменился лиственными породами с их бледной зеленью, к которой совсем не привык

мой глаз, и, наконец, потянулись волнистые оголенные равнины Зауралья, в центре которого стоял Гавриловск с своим монастырем. Этот город был просто деревня с несколькими церквами, и я сразу возненавидел его и в первый раз горько заплакал о своей милой Таракановке, потерявшейся в широком просторе Уральских гор. Все то, что раньше не имело для меня никакого значения, чего я даже не замечал, теперь тянуло меня с непостижимой силой к себе; особенно сильно тосковал я об уральских лесах, по которым бродил с Меркулычем; даже заводская фабрика с ее сажей, пылью, вечным грохотом казалась мне каким-то раем в сравнении с этими бесконечными полями, на которых глаз не находил ни одной высокой точки и которые шахматной доской зеленых озимей и только что сжатых полей уходили в бесконечную даль.

Самое училище помещалось в монастыре, за его толстыми стенами, видевшими башкирские бунты и пугачевщину. Прежде всего я явился к архимандриту Иринарху, настоятелю монастыря и смотрителю духовного училища; это был высокого роста, еще очень мо-

лодой и в высшей степени красивый монах с длинными, белыми, как молоко, руками и с полузакрытыми ленивыми глазами. Он принял меня с такой важностью, что у меня похолодело на душе от предчувствия чего-то недоброго; на экзамене я отвечал бойко, но Иринарху больше всего не понравилась моя заводская развязность в сравнении с деревенскими поповичами, которые только потели со страху и дрожали, как в лихорадке.

— Как только приедешь в Гавриловск, сходи непременно к отцу Марку, — говорил мне отец на прощание: — Он славный парень был... На квартиру вставай к Ивану Андреичу, где Аполлон жил. Славный старик, хоть, не тем будь помянут, крепко нас дирал прежде.

Памятуя наставления отца, я отыскал в Гавриловске небольшой домишко Ивана Андреича. Это был совсем маленький домик, походивший на крестьянскую избу, с передней и задней половиной. В передней половине Иван Андреич держал кого-нибудь из учеников духовного училища, а в задней жил сам с своей женой Аришей. Иван Андреич выслу-

жил сорок лет учителем уездного духовного училища и теперь жил на покое, получая двенадцать рублей пенсии в месяц. На вид это был крепкий старик с какой-то деревянной физиономией и щетинистой бородой. Одевался он зимой и летом в полосатый тиковый халат и в таком виде ходил по всему Гавриловску. Грубоватый на вид, Иван Андреич был собственно добрейшей души человек, и ему нужно было пройти сквозь огонь и медные трубы бурсацкой жизни, чтобы прославиться на целую губернию самой жестокой поркой. Ариша была как раз по плечу Ивану Андреичу: низенькая старушка со сморщенным лицом, не вылезавшая из ветхого ситцевого платья, любившая поворчать и воображавшая себя очень проницательной; главным ее достоинством было умение кормить своих постояльцев.

У Ивана Андреича был сын Антон, который жил в передней половине вместе с нахлебниками. Это был очень веселый и очень взбалмошный парень, который с первого же раза отнесся ко мне самым враждебным образом. Кроме Антона и меня, в передней поло-

вине поместился еще сын о. Марка, которого все звали Гришкой. Это был уж совсем отчаянный человек, обладавший притом здоровенными кулаками. Гришка и Антон встретили меня, как новичка, глухим ворчанием и к вечеру же отколотили наижесточайшим образом. Таким образом, я был посвящен в тайны бурсацкой науки. Первую ночь, которую я провел под кровлею домика Ивана Андреича, я проплакал напролет; бессильная злоба душила меня, но вместе с тем я сознавал, что я теперь отрезанный ломоть, как говорил отец, и должен был испить чашу до дна. Далекая Таракановка встала передо мной в самых радужных красках, и я, задыхаясь от слез, до самого утра думал о ней, о матери, сестрах, Луковне, Меркулыче, Январе Якимыче.

Приемный экзамен я выдержал порядочно и поступил в высшее отделение, то есть в последний класс, где, к моему несчастью, мне пришлось учиться вместе с Антоном и Гришкой. Впрочем, я скоро освоился с ними и даже до известной степени привык к побоям: ощущения физической боли притуплялись, а чувство собственного достоинства я почти со-

всем утратил. Как это случилось, я не могу дать себе отчета в настоящее время, помню только, что я сначала потерялся, потом ушел в себя и, наконец, глубоко возненавидел бурсу и Гавриловск. О способе учения считаю излишним говорить подробно, потому что он совершался самым ветхозаветным образом, и все дело в конце концов сводилось только на одно голое зубрение, мертвившее детский ум и парализовавшее всякое проявление самодеятельности молодой мысли.

Отец Марк жил в большом селе Заплетаеве, до которого было от Гавриловска верст десять, вниз по реке Ирени. В будни мне некогда было сходить туда, а в праздник я боялся встретить там Гришку с Антоном. Свободное время, которое у меня выдавалось в праздники, я посвящал уединенным прогулкам за город, особенно по течению Ирени, где было несколько отличных рыбных мест. У меня было несколько удочек, с которыми я забирался рано утром куда-нибудь подальше; там проводил целый день, предаваясь этим воспоминаниям, и подолгу лежал на траве с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти дорогие

мне лица, места и события. Я еще раз переживал здесь все то, что осталось в Таракановке.

Однажды — это было в начале августа — день выдался такой теплый да светлый, точно вернулось опять лето. Я забрался под иву с раннего утра. Рыба брала плохо, и я мог мечтать, сколько душе угодно, без ущерба делу. Накануне я получил письмо от отца, и хотя в нем ничего нового не было, я находился в особенно мечтательном настроении и совсем не заметил, как один из поплавков начал тревожно нырять.

— Тащите... клюет! — крикнул за моей спиной чей-то голос, и, прежде чем я успел оглянуться, маленькая белая ручка схватила одну из моих удочек и торопливо выдернула из воды пустую лесу.

— Ах, какая жалость!.. — сердито проговорил тот же голос. — Как вам не совестно так зевать?..

Я оглянулся и сильно смутился. Предо мной стояла красивая девочка лет четырнадцати в белом пикейном платьице и сердито смотрела на меня красивыми карими глазами.

Как во сне мелькнули пред мной гладко зачесанные светло-русые волосы, ярко-алая лента на белой шейке, маленькие белые руки с розовыми пальчиками и очень красивое, теперь нахмуренное личико с вздернутым носиком. Я совсем растерялся и молчал. Девочка сердито топнула ножкой и, отдувая розовые пухлые щеки, капризно проговорила:

— Что же вы молчите, как пень? Я, кажется, с вами говорю... А как отлично клевала!

Девочка громко засмеялась. Доктор Обонполов еще больше смутился.

— Вероятно, из духовного училища? — спросила она. Я подтвердил это предположение. — А как ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Так это вы и есть Кир Обонполов... — растягивая слова, проговорила девочка. — Отчего вы к нам не приходили?.. Пойдемте. Меня зовут Симочкой. Папа будет очень рад. А что ваш брат?

Не помню, что я отвечал на этот вопрос; об удочках я забыл и приготовился покорно следовать за незнакомкой, не спросив даже, куда она меня ведет.

— А удочки? — спрашивала моя незнакомка, когда мы сделали несколько шагов. — Как это глупо!..

Пока я вынимал удочки и сматывал лесу, к нам подошла большая барышня, одетая в изящное летнее платье из сурового полотка.

— Агничка, посмотри, какую я находку сделала, — весело говорила Симочка, кивая в мою сторону головой. — Имею честь представить: братец Аполлона, Кир Обонполов.

Агничка лениво посмотрела на меня, потом перевела свой взгляд на сестру и улыбнулась. Мне показалось, что она думала: «Хороша находка... какая ты глупая, Симочка! Ну, что мы будем делать с этим болваном?»

— Пойдемте, — проговорила Симочка, точно отвечая на мою мысль. — Мы скоро будем обедать... Ух, как я устала!..

Мы пошли по направлению к Заплетаевскому селу, которое виднелось верстах в четырех. Всю дорогу Симочка щебетала, как птичка, немилосердно тормошила меня и заливалась неудержимым, заразительным смехом, заставлявшим улыбаться меня, вероятно, самым глупым образом. Агничка жалова-

лась на усталость и несколько раз многозначительно проговорила:

— Он совсем не походит на брата... ничего похожего нет!

Меня осенило какое-то просветление, и я понял смысл этой фразы, то есть что Агничка находила меня просто безобразным сравнительно с братом Аполлоном. Эта мысль произвела на меня гнетущее впечатление. Моему самолюбию был нанесен жестокий удар, потому что как я ни преклонялся пред совершенствами Аполлона, но в настоящую минуту я почувствовал мучительное желание быть красивым, ловким, любезным, по крайней мере, кавалером вроде Меркулыча. Ах, зачем у меня не было хоть частички достоинств моего друга! Я испытывал глубокое чувство унижения и страстно желал вернуться обратно в Гавриловск, чтобы выплакать свое горе где-нибудь в углу; но о бегстве нечего было и думать, — оставалось идти вперед. Все, что я пережил на пути от моей ивы до Заплетаева, можно сравнить разве только с тем, что чувствует утопающий человек.

Заплетаевское село было больше Гаври-

ловска. Оно раскинуло свои крепкие домики тоже по берегу р. Ирени и весело глянуло на нас своей каменной белой церковью и широкой улицей. Недалеко от церкви стоял пятистенный деревянный дом в один этаж с красивым мезонином и широким двором. Это и был домик о. Марка, куда мы шли, как я догадался.

— А вот и папа! — звонко крикнула Симочка, указывая головой на сухонького низенького старичка, который сидел на крылечке и стругал какую-то палочку. Он был одет в старый, разорванный подрясник, из больших прорех которого вылезли клочья грязной ваты. На голове была надета донельзя затасканная меховая шапка, на шее намотан пестрый гарусовый шарф. — Папа, отгадай, кого мы привели к. тебе? — кричала Симочка, подбегая к старику.

Старик повернул ко мне свое острое, изрытое оспой лицо, зорко оглядел меня с ног до головы своими бойкими карими глазами, сделал какую-то гримасу и с веселой улыбкой отвечал:

— Где вы такого зверя откопали?

Когда старик улыбнулся и заговорил, в его некрасивом лице мелькнуло то же добродушно-лукавое выражение, которое не сходило с личика Симочки, и я догадался, что это и есть тот знаменитый о. Марк, о котором отец всегда спрашивал Аполлона и которому мы все завидовали.

— Что, не узнаешь меня, паренек? — весело заговорил о. Марк, бойко соскакивая с своего места. — А ведь мы с твоим-то отцом вместе учились... вместе. На одной парте двенадцать лет высидели. Понимаешь? А Иван Андреич, разбойник, бывало, вместе нас и драл... У, как драл, разбойник!

Как-то забавно привскочив на одной ножке и лукаво прищурив глаза, о. Марк продолжал:

— А ты, паренек, отведал березовой каши?.. а? Чик-чик-чик... а? Ничего, после спасибо скажешь... А Иван Андреич драл... у, как драл, разбойник! Бывало, разложит нас с отцом-то твоим и прогнусит: «А закатить Филемону и Бавкиде пятьдесят горячих»... Ух!.. Небо с овчинку! А я Ивану Андреичу и шепну: «Иван Андреич, гуська привезу...» Сейчас

смилуется. «Ты у меня добрый парень, садись на место!» Вот как жили, паренек, а вы что — время даром проводите!..

Агничка ушла в комнату, а Симочка стояла и смеялась. Я покраснел, как рак, и окончательно растерялся, а о. Марк так и заливался своим дребезжавшим безобидным смехом.

— Ну, соловья баснями не кормят, Серафима Марковна, — заговорил о. Марк, — ты у Ивана Андреича стоишь, паренек? Ну, значит, досыта не наедаешься и с голоду не умираешь... Так, так! Знаешь поговорку: держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле... Satur venter non studet libenter[161]. Ты с моим блудным сыном, значит, живешь... Колотит он тебя, разбойник?.. Он и меня скоро будет колотить... Да, да!.. Ты от него подальше, коли хочешь добра!

Пятистенный домик о. Марка был устроен внутри на славу, так что у меня даже глаза разбежались: мягкая мебель, дорогие обои, ковры, бронза и даже вазы. Особенно хороша была небольшая голубая гостиная с мебелью, обтянутой голубой шелковой материей, С голубыми драпировками на дверях и окнах, с

голубыми обоями и небольшой бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка. Зато кабинет о. Марка отличался большой простотой: в одном углу стоял трехногий стол с какими-то бумагами, в другом столярный верстак, два простых стула, и только. Я почувствовал невольную робость в этих богатых комнатах и сразу понял всю разницу между ними и нашими убогими комнатками в Таракановке. Здесь же я понял источник нашей фамильной гордости, которая должна была вознаградить нас за те блага, каких нам недоставало. Я пришел даже в некоторый священный ужас, прикинув в уме, сколько могла стоить вся эта обстановка в доме о. Марка, особенно если сравнить с теми героическими усилиями, каких стоили нам наши жалкие вещи. Да, будущий доктор не умом, а всеми своими чувствами в первый раз испытал щемящее чувство зависти и подавляющую силу богатства.

— А ты, Кирша, умеешь бревна возить? — спрашивала меня Симочка, которая с двух слов поставила себя со мной на короткую ногу.

Я сознался в своем невежестве. Симочка

подвела меня к небольшому столу из «мороженого» железа под малахит, наклонила головку и провела белым лбом по полированному железу. Получился дребезжащий звук, действительно походивший на то, как будто по улице ехали с бревном. Симочка несколько раз повторила эту штуку, а потом заставила проделать ее меня. Будущий доктор на этот раз вышел из затруднения самым блистательным образом: стол под моим лбом затрещал неистово, и Симочка с восторгом принялась громко аплодировать моим успехам. Эти похвалы настолько разожгли мое усердие, что на лбу у меня всплыла большая красная шишка, но это вышло еще забавнее, так что я совсем позабыл о своем желании провалиться сквозь землю или, по меньшей мере, удрать обратно в Гавриловск.

Нужно ли говорить, что мы отобедали самым веселым образом, весело играли долго после обеда — вообще провели целый день самым отличным образом благодаря удивительной изобретательности Симочки и еще более удивительной готовности Кира Обонполова исполнять все ее желания и капризы.

Дело кончилось тем, что будущий доктор с ловкостью медвежонка очутился, наконец, на крыше и даже был согласен спрыгнуть прямо с высоты нескольких сажен, чтобы только заставить Симочку смеяться ее серебристым смехом. Совершенно излишне упоминать о том, что когда Кир Обонполов возвращался в Гавриловск, — в его идеалах оказалось значительное приращение, именно, что он не только будет доктором, а еще должен жениться на Симочке.

Да, это была настоящая первая любовь «с окрыляющим жаром молитвы и с целомудренными восторгами», любовь, которая приносила много явных и тайных огорчений, мук и терзаний, выкупаемых светлыми полосами тайного счастья, — любовь, которая, как весна в году, не повторяется. Я очень часто бывал в Заплетаеве и проводил время отличным образом; но на горизонте моего счастья стояло уже черное облако — это архимандрит гавриловского монастыря и смотритель нашего училища Иринарх, который тоже очень часто навешал о. Марка и с которым Кир Обонполов, по некоторым обстоятельствам,

меньше всего желал встречаться где бы то ни было, — сказать проще, будущий доктор боялся Иринарха, как огня. Впрочем, Иринарх посвящал свой досуги исключительно одной Агничке. О. Марк хлопотал по хозяйству и, повидимому, совсем не обращал внимания на эти таинственные tete-a-tete, происходившие у него под носом. Раз, дурачась с Симочкой, я с разбегу влетел в комнату Агнички, и мне показалось, что она сидела на коленях у архимандрита и при моем появлении быстро отскочила. Мне, конечно, показалось все это, и я никогда не поверил бы в возможность такого случая между Агничкой и Иринархом. Эти таинственные уединения давали нам с Симочкой полнейшую свободу, чем мы и пользовались. Симочка была отличная девочка и держала себя со мной как товарищ. Чем дальше подвигалось время, тем сильнее любил я ее и страшно скучал, когда дня три мне не приходилось бывать в Заплетаеве. Симочка отвечала мне тем же и не раз приезжала за мной на квартиру к Ивану Андреичу на маленькой серой лошадке, которой всегда правила сама. Когда выпал снег, мы на этой ло-

шадке устраивали отличные пикники.

Мне казалось, что Иринарх глубоко ненавидел меня и не упускал случая сделать мне что-нибудь «неудобосказуемое». На монастырском дворе, в двух шагах от училища, стоял знаменитый «каменный мешок», то есть длинный каменный флигель, имевший форму мешка, в котором проживал «смиренный Иринарх», как официально подписывал свое имя наш смотритель. Снаружи трудно было представить что-нибудь безобразнее этого каменного мешка: штукатурка на стенах облезла, кирпичи выкрашивались, железная крыша во многих местах проржавела, маленькие окна с железными решетками смотрели неприветливо, как в тюрьме, и само здание походило на каменный гроб. Но какой резкий контраст находил каждый, кто имел счастье проникать вовнутрь этого склепа! Ряд щегольских, уютных комнат открывал восхитительный вид в тенистый садик, примыкавший к флигелю сзади; в этих комнатках стояла вечная весна из всевозможных растений, которые были собраны в них со всех концов света. Картины, фотографии, письменный

стол, украшенный тысячью дорогих безделушек, библиотека — все это делало келью монаха самым уютным каменным гнездышком, в котором все дышало роскошью и изяществом. Летом это был настоящий райский уголок, отгороженный от остальной юдоли плача высокой и толстой монастырской стеной; небольшая терраса выходила в сад и вся тонула с ранней весны в чудесах экзотической зелени, и Иринарх любил нежиться на этой террасе, покачиваясь в вольтеровском кресле с последней книжкой какого-нибудь журнала. Небольшой квадратный садик, устроенный в углу монастырской ограды, представлял из себя чудный, затянутый зеленью уголок, но я не могу вспомнить о нем без невольного трепета... Я имел несчастье попасть в хор певчих, и поэтому мне очень часто приходилось бывать в покоях владыки Иринарха, который был большой знаток и любитель пения; бывало, призовет нас, певчих, и держит часов шесть. Сам Иринарх владел отличным бархатным тенором и любил подпевать нам; певчие были его фаворитами и любимцами, но его любовь была страшнее ненависти, и

каждая улыбка заставляла нас дрожать. Иринарх баловал нас, закармливал сластями, и все-таки мы боялись его, как огня, потому что чем тише и ласковее становился его взгляд, чем чаще начинал он улыбаться, тем тяжелее была его рука, — и пока он сладко дремал на своей террасе, полузакрыв глаза, в садике раздавались оглушительные вопли наказываемых розгами. Мы, певчие, должны были стоять вдали, у стенки террасы и терпеливо дожидались, когда владыка своим бархатным тенором протянет: «довольно». Кто побывал в бархатных лапках Иринарха, тот на всю жизнь не забудет звуков этого бархатного голоса, этих лениво полузакрытых глаз и выразительного бледного лица с матовой кожей.

Если бывают вообще загадочные натуры, то такой загадочной натурой был Иринарх: мучить других для него составляло утонченнейшее наслаждение, и ему нужны были детские слезы, мольбы и вопли, чтобы он мог спокойно дремать в своем кресле; что-то зловещее светилось в этих серых с поволокой глазах, когда они останавливались на вас своим долгим магнетизирующим взглядом, по-

трясавшим всю нервную систему. Иринарх действовал не столько на тело, сколько на душу, создавая целую пытку для нервов; некоторые падали в обморок от одного его взгляда. А между тем это был очень образованный человек, поступление которого в монахи окружено было самой глубокой таинственностью; кроме того, глубоко художественная натура Иринарха сказывалась во всем и даже в том высокохудожественном зле, которое он сеял кругом себя. Жить он умел, как никто другой, и пока монастырская братия сидела на кислой капусте и горошнице, Иринарх имел самую изысканнейшую кухню и попивал двадцатипятирублевый рейнвейн. Слава об Иринархе гремела по всей губернии, и в гавриловский монастырь из-за сотен верст стекались благочестивые души, жаждавшие слушания «медовой службы» Иринарха и уединенных бесед с этим пастырем словесного стада в его игрушках-комнатах. Рассказывали, что богомольные красивые барыни приезжали за тысячи верст, чтобы посмотреть красавца-владыку и удостоиться поднести ему какой-нибудь ценный подарок на память.

Иринарх очень благосклонно относился к этим «взыскующим града», и слава его росла вместе с рассказами о его тысячных рысаках, дорогих обедах и тонких винах.

Я не буду входить в подробности той тяжелой жизни, какая выпала на мою долю за монастырской стеной; по приведенному типу Иринарха можно сделать приблизительное о ней понятие; но когда наступили первые летние каникулы в моей жизни, я обезумел от радости. Все, что было во мне напускного и взятого напрокат, — все это, как чешуя, отпало само собой, уступив место могучему чувству беспредельной любви к родине. Правда, мне очень тяжело было расставаться с Симочкой, но я сейчас же утешился, как отъехал от Гавриловска верст двадцать. Я равнодушно тащился между колосившихся нив и богатых деревень на крестьянской телеге вместе с другими товарищами и смотрел туда, на север, где волнистой линией в синеватой дымке горизонта вставали и все сильней выяснялись силуэты Уральских гор: там Тараканова, там отец и мать, сестры и брат... Как я обниму их всех!.. А Луковна? Меркулыч? Что-то они

делают все и как встретят меня?.. Опять жить в лесу, на охоте и на целых полтора месяца забыть об Иринархе, о дежурстве в «каменном мешке», сценах «под колоколом», где по субботам драли учеников, о Гришке и Антоне, лупивших меня на все корки.

Что прежде всего и самым приятным образом поразило меня, так это то, что я сразу почувствовал, что в нашем доме как будто не стало прежней вопиющей бедности, — лучше ели и лучше одевались. Дело объяснилось очень просто тем, что Аполлон поступил на службу, и хотя получал всего пятнадцать рублей жалованья, но все эти деньги отдавал отцу. Эти сто восемьдесят лишних рублей в год были для нашей семьи якорем спасения, тем более что мое учение обходилось в год в сорок пять рублей, — цифра совсем невероятная в нынешнее время, а она имела значение действительности десять-пятнадцать лет тому назад.

Меня опечалило лишь одно обстоятельство, именно то, что Луковны не было в Тараканове; она уехала в Петербург проведать Сергея Павлыча, который сильно прихвары-

вал весной или, как объясняли другие, хотел жениться и для этого выписал свою «маменьку». В избушке жил теперь один неукротимый Кинтильян, и я совсем не заглядывал в эту пещеру рыкающего льва; зато мы с братом каждый день бывали у Меркулыча. Лапа теперь называлась Олимпиадой Павловной, она пополнела и сделалась рыхлой; спала даже на ходу и просыпалась только тогда, когда считала нужным обругать Меркулыча. Этот примерный муж выносил с примерным терпением от своей супруги все и только лукаво подмигивал, потому что Лапа, то есть Олимпиада Павловна, находилась в таком положении, которое требовало присутствия и самого деятельного участия Климовны, этой сплетницы-старушонки, распустившей о Лапе пред приездом доктора свои сплетни. Меня удивляло терпение Меркулыча, который позволял этой старушонке появляться в его доме.

В июле поспели всякие выводки, и мы с Меркулычем начали свой охотничий сезон. Олимпиада Павловна не только не удерживала Меркулыча, но сама гнала его и постоянно смеялась над Аполлоном, который, ссылаясь

на ревматизм, совсем не ходил на охоту и оставался дома. Я отдавался этому удовольствию с полной страстью и был недоволен поведением Меркулыча, который относился к делу уже не с прежним самоотвержением, а, как кажется, с единственною целью побольше набить дичи; этот промышленный дух, который сменил прежнее поэтическое удовольствие, огорчал и даже оскорблял меня. Затем не было и помину о том, чтобы провести ночь где-нибудь в глухом лесу, как это мы делали прежде: Меркулыч рвался на свое пепелище и морщил лоб, когда мы запаздывали, — словом, это был другой человек, и я не скучал с ним только потому, что больше не с кем было ходить на охоту, а время бежало с поразительной быстротой, приближая роковую минуту отъезда в Гавриловск под высокое покровительство Иринарха.

Раз, в конце июля, подхожу ранним утром к домику Меркулыча, и только занес было руку, чтобы постучать в окно, и вперед отлично представлял себе, как в окне покажется заспанная физиономия моего друга с взъерошенными волосами, — руки сами опусти-

лись, и я простоял под окном несколько минут в совершенном оцепенении, точно по мне кто-нибудь выстрелил: новенькие ворота домика Меркулыча были вымазаны широкими полосами дегтя... В переводе это означало самую ужасную вещь, какая только существует в провинциальной жизни: вымазанные дегтем ворота — это вечный позор дома и несмываемое пятно на его репутации. Я долго не мог прийти в себя, а когда в окне показался Меркулыч, я ничего не мог выговорить, а только показал знаками, чтобы он сейчас же вышел на улицу. Когда Меркулыч показался в калитке, я молча указал ему на ворота. Бедный мой друг побледнел и слабо вскрикнул.

— Кирша, что это... Господи... — бессвязно бормотал растерявшийся Меркулыч, выпуская из рук полы своего халата.

Отворить ворота, снять вымазанные половинки с петель и убрать их на задний двор — было делом одной минуты; в следующую затем минуту Меркулыч в щепы разрубил эти несчастные половинки, и мы молча спрятали их в конюшне. Об охоте в этот день нечего было и думать, великолепное утро

пропало, и я вернулся домой с «растрепанными чувствами»; пред моими глазами стоял убитый Меркулыч, который со слезами на глазах побелевшими губами шептал: «За что? Господи... Кому я сделал зло?» Лежа в постели, я долго думал, кто бы мог устроить такую штуку Меркулычу, и решил, что это дело Прошки. Несмотря на свое огорчение, я заснул самым крепким сном, а когда проснулся, было уже часов одиннадцать утра, и в передней сидела с своим таинственным видом Климовна — значит, как я догадался, весть о скандале успела уже облететь всю Тараканов-ку, и наши усилия скрыть всякие следы остались тщетными. Мать была, видимо, огорчена и старалась не смотреть на меня, сестры шептались, отца и Аполлона не было дома.

— Жаль... как жаль! — шептала поблекшими губами Климовна. — Она-то последнее время ходит, пожалуй, чего бы не попритчилось... А сам-то сел в угол и сидит, как очумелый; из волости присылали за ним, не пошел.

Отец скоро вернулся, он был у Меркулыча, и только махнул рукой, когда мать вопросительно посмотрела на него.

— Ни за грош зарезали парня, — говорил он, когда Климовна вышла: — Меркулыч ни на кого не думает. Встретил сейчас Прошку на улице, улыбается, животное; так бы по толстой морде его и смазал...

— Викентий Афанасьич?!..

— Ах, матушка, что за церемонии! Если бы не сан мой да не старость, — засучил бы рукава и собственными руками... Понимаешь? Было время, когда лошадь за передние ноги поднимал... Да, был конь, да уезжен!

Эта история с Меркулычем наделала большого шуму; сам Меркулыч целую неделю никуда не показывался, Олимпиада Павловна заливалась слезами, как река, и несколько раз прибегала к нам в самом отчаянном виде. Дело кончилось тем, что Меркулыч жестоко запил, и все пошло вверх дном. Он походил теперь скорее на зверя, чем на человека, и несколько раз с ножом бросался на беременную жену, а когда приходил в себя, плакал и на коленях просил прощения. Отец несколько раз ходил к нему делать увещания. Меркулыч слушал его, обещал исправиться и запивал горше прежнего. Я не оставлял своего друга,

но мое присутствие едва ли сколько-нибудь помогало Меркулычу: он пил рюмку за рюмкой, ломал все, что попадалось ему под руку, и по всей вероятности сошел бы совсем с ума, если бы в самую критическую минуту не явилась из Петербурга Луковна, торопившаяся к «разрешению» дочери.

— Ну, и слава богу! — проговорил отец, когда услышал о приезде Луковны: — Луковна все устроит... Эта, брат, бывала в переделках!

Я сидел у Меркулыча, когда Луковна в первый раз заявилась к зятю. Меркулыч был по обыкновению пьян и сидел у окна. Луковна тихо вошла в комнату, помолилась и, оглянувшись кругом, прямо подошла к зятю.

— Грех тебе, Меркулыч, — тихо заговорила Луковна, в упор глядя на зятя.

— У-уди!.. — глухо зарычал Меркулыч, сжимая кулаки.

— Нет, я не затем пришла...

— Уди!..

— Мне с тобой нужно поговорить...

— А... со мной?!.. Ты... нет, ты вот с ней, со своей змеей поговори! — яростно закричал Меркулыч, указывая на жену. — У-у... змея

подколодная!.. Луковна, не подходи: убью!.. Зарежу!..

— Вре-ешь, не убье-ешь, — как-то нараспев ответила Луковна и смело подошла к зятю: — ну, бей...

Меркулыч метнулся, как дикий зверь, и застонал; он испугался старухи, не сводившей с него глаз; эта немая сцена продолжилась несколько секунд, заставила вспотеть Меркулыча, и он только страшно водил выкаченными глазами.

— А мне, ты думаешь, легко... а? Мне легко? — задыхавшимся шепотом говорила Луковна. — Я ведь не оправдываю дочь...

— Я... я... любил! — скрежеща зубами и закрыв лицо, шептал Меркулыч.

— Ты младенца пожалей... безвинного младенца: вот зачем я пришла к тебе... В нем божья душа-то, отчаянный ты человек!.. О боге-то позабыл... А ты того не думаешь, что, может, это кто со зла сделал на тебя? Мало ли добрых-то людей?..

— Да ведь мне на улицу теперь показаться нельзя... пальцами будут все указывать... вот что!.. Это как, по-твоему? Лучше бы убили ме-

ня... легче бы мне...

— А по-моему, нужно богу молиться...

Луковна продолжала говорить в этом же роде, Меркулыч слушал ее и стихал, изредка озираясь по сторонам, точно он боялся какой засады; в этой сцене Луковна являлась для меня в новом свете, в ней сказывалась какая-то не сокрушимая ничем сила жизни и умение стать выше самых критических обстоятельств. Самый тон ее голоса, вид ее энергичной фигуры, упорный взгляд небольших черных глаз, горевших огнем, — все это, вместе взятое, производило успокаивающее впечатление, как присутствие авторитетного доктора, один вид которого внушает больному надежду. Подавленный горем ум Меркулыча отказывался работать, но чувства жили с болезненной энергией, создавая воображаемые муки — вот против этого болезненного состояния присутствие Луковны было лучшим лекарством для Меркулыча. Ввиду таких исключительных обстоятельств Луковна на время рассталась даже с своей избушкой и поселилась у зятя. Меркулыч быстро начал поправляться, бросил водку, перестал буя-

нить, и только по временам на него находили какие-то столбняки. По наружному виду это был совсем другой человек — о румянце не было и помину, глаза округлились и смотрели тревожным, напряженным взглядом, по лицу легкой тенью постоянно пробегало чувство детского страха при малейшем стуке; о своем костюме Меркулыч больше не заботился: не поправлял галстука, не обдергивал на себе казинетового пиджака; из всех старых привычек у него остались две — нерешительное кряканье и надувание щек, точно ему постоянно было жарко.

Живя у зятя, Луковна совсем не замечала дочери и не говорила с ней ни слова; Климовна больше не появлялась. Это напряженное состояние, наконец, разрешилось появлением в домике Меркулыча четвертого действующего лица, отчаянные детские крики которого разогнали остатки накатившейся тучи, и Меркулыч даже повеселел, когда к нему потянулись красные детские ручонки; его доброе, любящее сердце все свои силы сосредоточило на этом маленьком существе, и он даже начал ходить опять в волость на свою службу, о

чем раньше и слышать не хотел. Олимпиада Павловна тоже подняла голову и помаленьку опять начала забирать мужа в свои руки: она даже считала необходимым усиленно кричать на Меркулыча, когда он не так брал ребенка на руки, не умел его успокоить или не просыпался ночью, когда ребенок кричал.

— А все-таки лучше бы им уехать куда-нибудь, — несколько раз говаривал отец. — Конечно, домишко у них свой, хозяйство, а все-таки лучше уж бросить все. Народ здесь зверь зверем, а Меркулыч — рубаха-парень, пожалуй, обидят, неровен час.

— Ехать-то некуда, отец Викентий, — отвечала Луковна, — и без нас тесно везде.

— Все-таки лучше, Луковна.

— Здесь свой угол есть, отец Викентий, а поехал отсюда — нанимай квартиру. Капиталов-то не накоплено, а тут дите на руках...

— А к Сергей Павловичу толкнуться бы... Может, он где-нибудь нашел бы подходящую службу.

— Ой, что вы, отец Викентий! Разве Сереженька такой человек, с ним ведь каши не сваришь. Он с своей-то головой не пособился:

все стонет да морщится. Другой раз даже смотреть тошно: потемнеет весь из себя, глазки мутные такие сделаются. «Скучно, говорит, маменька»...

Раз мы сидели с Меркулычем в волости; Меркулыч писал какую-то бесконечную «бумагу», а я думал о Заплетаеве и заплетаевских поповнах; в окне звенела и жужжала большая зеленая муха; я сладко мечтал — в это время в передней послышались тяжелые неровные шаги, и в волость ввалились Прошка с Вахрушкой, едва держась на ногах. Они были сильно пьяны, Прошка посмотрел на нас налитыми кровью глазами и, шатаясь, подошел к столу. Вахрушка подошел за ним и с глупой улыбкой уставил глаза на Меркулыча.

— Ты... ты что же сидишь?.. — хриплым голосом заговорил Прошка.

— Не танцевать же мне пред тобой, — огрызнулся Меркулыч: — вишь, бумагу пишу.

— А ежели... значит... я твое начальство... должон ты мне али нет, со всяким почтеньем... а? Вахрушка... а Вахрушка... ты какое понятие в своей голове имеешь насчет этого дела?.. А?..

— А я так полагаю в своих мыслях, — отозвался Вахрушка, поправляя кумачную рубашку: — я полагаю, что Меркулыч... он в понятии затмился...

— Отвяжитесь, черти! — зарычал Меркулыч. — Вишь, налили шары-то... Убирайтесь!

— Над землей-то ты не больно страшен, — загремел Вахрушка: — разе тебя под землей-то много...

— А ты, Прош, не трогай Меркулыча, — вступился Вахрушка, оттаскивая Прошку за рукав: — Меркулыч теперь, брат, подобно тому, как помещик... Меркулыч, а Меркулыч! С новорожденным...

Меркулыч страшно побледнеет и какими-то остановившимися глазами посмотрел на Вахрушку; перо задрожало в его руках.

— С новорожденным, Меркулыч... — хрипло протянул Прошка: — с наследничком... только говорят, что от него деготьком припахивает...

Меркулыч молчал и только как-то весь выпрямился на своем стуле.

— Как здоровье Олимпиады Павловны?..

Чисто ходишь, бело носишь, кого любишь, с кем живешь!.. — При этих словах Прошка засмеялся хриплым наглым смехом.

— А вот мы дегтярника этого крестить скоро будем, — со смехом заговорил Вахрушка. — Кинтильяна в крестные отцы поставим... он окрестил тебе ворота-то!..

Вахрушка не успел закрыть рта, как Меркулыч одним движением, как дикий зверь, прыгнул из-за стола прямо на Вахрушку, сбил его с ног и с диким, нечеловеческим воем впился в него; они покатились по полу. Меркулыч первое время одолевал своего врага, но потом могучие руки Вахрушки, как клещами, сжали ему спину, и он очутился на низу. Вахрушка сел на Меркулыча верхом, кумачная рубаха была на нем вся разорвана, по лицу текла кровь, и он начал наносить страшные удары Меркулычу по лицу и в грудь, точно кто молотил его пудовыми гирями, так что слышно было, как хрустели кости под этими ударами.

— Дуй его, Лапухина мужа — мазаны ворота! — хрипел Прошка, толкая Меркулыча своим сапогом прямо в лицо. — Задувай его...

Увидев это побоище, я опрометью кинулся из волости; отец и Аполлон были, к счастью, дома, они сейчас же побежали выручать Меркулыча. Когда мы входили в волость, Прошка и Вахрушка попались нам навстречу; они шли, как ни в чем не бывало.

— Что это вы делаете, разбойники? — закричал отец.

— А тебе какое дело? — глухо отозвался Прошка.

— Мне?!.. Мне?!.. Вы тут человека убили, разбойники!.. — закричал отец так громко, что я задрожал от страха. — Я вас под суд отдам... в Сибирь!..

— У тебя долги волосы-то, так я тебе их расчешу, — мрачно отозвался Вахрушка.

Я силой утащил отца в волость. Меркулыч буквально плавал в крови с посинелым лицом и стиснутыми зубами; это был кусок мяса, на который было страшно смотреть. Мы кое-как привели Меркулыча в чувство, потом я сбегал за Январем Якимычем, и только при его помощи мы возвратили Меркулычу несколько человеческий вид: обмыли кровь, привели в порядок одежду и смочили страш-

ные синяки какой-то примочкой, какую захватил с собой Январь Якимыч. Я никогда не видел таких страшных синяков, какими было покрыто все тело Меркулыча: громадные синие пузыри с багровыми подтеками всплыли на груди, на плечах, на спине; нос распух, глаз почти было совсем не видно под синими пятнами. Меркулыч все время молчал; его тело покорно принимало всякое положение, какое ему давали, как у мертвого.

— Ах, христопродавцы... ах, разбойники! — кричал Январь Якимыч, натирая спину примочкою. — Ах, кошки их залягай...

— В Сибирь мошенников сошлю! — кричал отец.

— Совсем изуродовали человека... отец Викентий, вы по пузырю трите сильнее... вот так... левее немного! Ах, господи, помилуй... ах, христопродавцы... Аполлоша, ты голову придерживай... Отродясь не видывал этакой страсти! Да не подлецы ли, отец Викентий... не лешаки ли! Прости ты меня, господи!.. Ах, заешь их собака...

Меркулыча замертво стащили домой, и он вылежал в постели две недели; он лежал ти-

хо, не жаловался, не стонал и ни с кем не говорил. Луковна и Олимпиада Павловна ухаживали за ним с убитыми, заплаканными лицами; я несколько раз пытался утешать своего друга, но Меркулыч молчал и только раз, прощаясь со мной, глухо проговорил:

— Ты, Кирша, напрасно утешаешь меня... я не маленький... Ты *этого* теперь не поймешь... когда больше будешь... тогда...

Когда я взялся уже за скобку двери, Меркулыч еще раз остановился и, оглядевшись кругом, тихо проговорил:

— Пойдешь в лес, Кирша... в горы... Поклонись им от меня: и лесу, и горам, и траве... Не гулять мне больше...

В первых числах августа, рано утром, когда еще все спали в нашем доме, меня разбудил чей-то тихий плач и глухое причитание; я выглянул из-за печки и увидел Луковну, которая стояла у самых дверей и тихо плакала. Отец с бледным лицом торопливо надевал на себя казинетовый[162] подрясник и никак не мог застегнуть пуговиц, потому что руки у него сильно тряслись. Он с тяжелым вздохом несколько раз проговорил: «Ах, господи!.. Да

что же это такое?» Вскочить с постели и одеться было делом минуты, а в следующую минуту я уже босиком летел по улице прямо к Меркулычу и далеко опередил отца, который при своей одышке не мог ходить скоро. Калитка в доме Меркулыча была отворена; во дворе стояли два мужика, за ними виднелась какая-то баба с белоголовым мальчиком на руках.

— Вон там повесился, — проговорил один из мужиков, тыкая пальцем в сторону сарая.

Я опрометью бросился в двери конюшни и отскочил назад: в самых дверях висели чьи-то белые ноги. Прибежавший отец велел мужикам снять Меркулыча; они переглянулись, почесали затылок и неохотно вошли в конюшню; через минуту белые ноги мертвым движением опустились на пол. Точно вынырнувший из-под земли Январь Якимыч схватился за них и потащил из дверей. Меркулыч был в одном белье, посинелая голова с открытыми мутными глазами безжизненно стукнулась о порог, руки были вытянуты; Январь Якимыч припал ухом к груди Меркулыча, пощупал пульс и, перекрестившись, прошептал:

— Кончено-с… все кончено-с!..

Ребенок, сидевший на руках бабы, дико вскрикнул, когда увидал синее лицо Меркулыча, я точно проснулся от этого отчаянного крика и заплакал; отец стоял около меня и тоже плакал.

Глава 7

Через неделю после смерти Меркулыча я уехал в Гавриловск; говоря правду, мне, пожалуй, уж наскучило жить в Таракановке, да и перспектива увидать Симочку сильно заманивала меня. Действительность жестоко обманула Кира Обонполова. В ближайшее воскресенье я отправился в Заплетаево, одевшись в новенький камлотовый[163] сюртучок, который мне сшила мать перед отъездом. С замиравшим сердцем я подходил к домику о. Марка, и первое, что неприятно поразило меня, это пролетка Иринарха, стоявшая у подъезда. На минуту во мне колебалось желание видеть Симочку, чтобы не столкнуться носом к носу с Иринархом, но потом мной овладела какая-то отчаянная решимость, и я смело вошел в переднюю. В зале никого не было, но из голубой гостиной доносился звон-

кий голосок и смех Симочки, что еще больше меня ободрило. Отворив дверь, я остановился в недоумении, так меня поразила представившаяся моим глазам картина: на небольшом голубеньком диванчике сидел Иринарх и держал на раздвинутых руках моток ниток. Симочка стояла перед ним и с веселым щебетанием свивала нитки в клубок. Мое неожиданное появление смутило и даже рассердило девочку, — нет, теперь уже не девочку, а целую барышню, которая ходила уже в длинном платье. Она взглянула на меня исподлобья и, вздернув носиком, совершенно равнодушно проговорила:

— А... это ты, Кирша... — И больше ничего, точно в комнату вошла кошка. Иринарх не только не смутился, но с своей неизменной улыбкой поманил меня к себе пальцем и, передавая мне моток ниток, певуче проговорил:

— Я, брат, поработал в свою долю, теперь твоя очередь.

Симочка сильно изменилась в течение лета — выросла, побледнела, отпустила длинную русую косу; на ней было надето шерстяное синее платье, в русых волосах чернела

бархатная ленточка. Я покорно взял из рук Иринарха моток ниток и стал его держать, но в этот раз мне не было суждено угодить Симочке, — ей все не нравилось, она десять раз поправляла мои руки, сердилась и рвала одну нитку за другой. Моя попытка занять ее рассказом о Меркулыче не только не привела к желанной цели, но даже, наоборот, вызвала сильное неудовольствие, и Симочка, надув пухлые губки, сердито проговорила:

— Очень мне нужно знать, как повесился ваш Меркулыч... Ты, Кирша, совсем поглупел и не придумал ничего лучше. Держи руки прямее, говорят тебе!..

Это было уже слишком даже для совсем влюбленного, и Кир Обонполов почувствовал, как что-то защипало у него в носу, сдавило горло и потемнело в глазах. Оставался один только шаг, и я расплакался бы самым глупейшим образом, но меня спасла в самую критическую минуту одна роковая мысль, которая, как молния, осветила всю картину... Да, я сразу понял все, и в моем детском сердце закипела сильнейшая ревность к моему счастливому сопернику, которым был, конеч-

но, не кто иной, как Иринарх. Теперь я понял смысл той сцены, свидетелем которой сделался так неожиданно, понял источник звонкого смеха Симочки с Иринархом и ее коварное поведение относительно меня. Ослепленный собственным своим чувством, я даже не сообразил того, что не имел никаких прав требовать что-нибудь и что вообще она держалась со мной на равной ноге, как мальчик; я никак не мог одолеть той мысли, что прежней Симочки уже нет, а есть другая Симочка, которая перешла в другой возраст и оставила меня сразу далеко назади.

По лицу Симочки я прочитал, как по книге, что она смотрела на меня с презрением, — значит, все было кончено; я холодно простился с ней и печально побрел к выходу. В зале я встретил Агнию Марковну, которая по своему обыкновению бесцельно бродила из комнаты в комнату и что-то жевала. Она остановилась и посмотрела на меня тем особенным взглядом, когда человек старается что-нибудь вспомнить; мне показалось, что она все знала и жалела меня. Она еще сильнее пополнела, точно распухла, но была по-прежнему непо-

движно-красива, точно сейчас встала с постели; пухлые руки с пальцами, унизанными блестящими кольцами, висели совершенно бессильно в таком положении, как будто после самой тяжелой работы.

— Где Симочка? — спросила меня Агния Марковна, вероятно, затем, чтобы сказать что-нибудь.

Я ничего не ответил ей и как сумасшедший выбежал из гостиной: меня давила эта роскошь, эти трюмо, бархатные обои, мягкая мебель, бронза, ковры, мне страстно захотелось на свежий воздух, на берег Ирени, где бы я мог броситься под своей любимой вербой в густую траву, спрятать в ней свое лицо и здесь выплакать свое горе и приготовиться к тому, что меня ожидало впереди. Я был уверен, что Иринарх будет мне мстить, и мысленно прощался со всем, что было мне дорого. Когда я проходил уже под окнами, меня остановил голос о. Марка:

— Эй, паренек, постой!

Я остановился. Из окна кабинета выставлялась голова о. Марка в неизменной меховой шапке, и его изрытое оспой лицо с узенькими

черными глазками смотрело на меня с веселой улыбкой.

— А что отец? — спрашивал о. Марк, свешиваясь из окна; он был в одной ситцевой рубашке.

— Кланяется вам...

— Спасибо; здоров?

— Здоров.

— Хорошо. А что Аполлон?

— Служит.

— На пятнадцати рублях?

— Да.

— Гм... не много. Ну прощай, паренек, учись хорошенько, а будешь писать домой, напиши от меня поклон отцу Викентию.

Итак, все было кончено, решительно все, и я в глубоком раздумье брел на свою квартиру, к Ивану Андреевичу; даже мысль сделаться доктором показалась мне совсем жалкой: стоило быть доктором, когда... Словом, я переживал все то, что переживают все отвергнутые любовники.

Против моего ожидания, Иринарх не только не преследовал меня, но даже был вежливее, чем раньше. Хождение в классы, спевки,

пребывание у Иринарха — словом, колесо моей жизни завертелось своим обычным ходом, за исключением одного маленького обстоятельства, которое сначала меня сильно испугало. После одной спевки, которая происходила в келье архимандрита, Иринарх велел мне остаться. Сначала я подумал, что когда остальные певчие уйдут, Иринарх велит принести розог и задаст мне одну из своих художественных порок; но каково было мое удивление, когда вместо розог Иринарх начал угощать меня пряниками, конфетами и все время самым ласковым образом выспрашивал об отце, брате, нашей семье и нашей жизни. Особенно подробно Иринарх расспрашивал меня о брате Аполлоне.

— Так он служит в заводе, — в раздумье говорил Иринарх, — получает пятнадцать рублей жалованья... Это очень не много... да, не много... Как ты думаешь, Кир, «не царь персидский»?

«Не царь персидский» думал то же, что и архимандрит Иринарх, а пока последний в раздумье ходил по комнате, Кир таракановский успел, «тайно образующе», стянуть со

стола в карман несколько горстей конфет, что сделал единственно в тех видах, чтобы доказать Гришке и Антону, что Иринарх не порол Обонполова, а угощал. Иринарх оставил меня даже ужинать и все время болтал со мной о всевозможных пустяках; мне еще раз пришлось убедиться, как иногда меняются люди: Симочки не было, и точно так же не было прежнего Иринарха. Новый Иринарх был очень умный и очень веселый человек, который шутил и смеялся со мной, как Меркулыч, и даже раз спросил:

— А что, «не царь персидский», тебе нравится Симочка?

Я, конечно, растерялся, покраснел и даже, грешный человек, подумал, что вот теперь-то и начнется порка, как раз в средине отличного ужина, но еще раз ошибся: Иринарх только засмеялся своим загадочным смехом и проговорил:

— Ну, успокойся; она тебя тоже очень любит... Она мне сама рассказывала. Симочка очень умненькая девочка... Да?

Иринарх пил все время вино и заметно покраснел. Глаза у него сильно слипались, и он

все улыбался, потирая свои белые руки; он несколько раз спрашивал меня, чем я хочу быть: попом или монахом. Я отнекивался и как-то случайно проговорился, что думаю быть доктором. Иринарх раскрыл глаза, внимательно посмотрел на меня и в раздумье проговорил:

— Что же... отличная вещь. Не ходи, братец, в попы, это главное, а там на все четыре стороны — нынче везде дорога.

Когда я пошел домой, Иринарх остановил меня и заговорил:

— Вот что, Обонполов: у твоего брата хороший голос?

— Да.

— Так ты напиши отцу, что чем Аполлону глотать заводскую сажу за пятнадцать рублей, пусть едет сюда. Меня отец Марк просил похлопотать о нем... Сначала послужит псаломщиком, а там, глядя по заслугам, и если женится, мы его в дьяконы поставим... Понял? Так и напиши отцу.

В простоте своей души я так все и принял за самую чистую монету и даже был готов полюбить Иринарха, если бы он на время со-

всем не забыл обо мне, точно между нами не было никаких разговоров и точно он не знал, что я буду доктором.

Наступила зима, и город и Гавриловский монастырь замело белым пушистым снегом. Время тянулось чертовски медленно, тем более что я не посещал уже о. Марка и только издали несколько раз видел заплетаевских поповен, когда они вдвоем катались на санках-беговушках. Моя любовь к Симочке начинала угасать, и я вполне углубился в недра мудреной бурсацкой науки, где каждый шаг вперед нужно было брать зубом, как говорил отец. Зато письма, которые я изредка получал из Таракановки, доставляли мне глубокое наслаждение, и я даже потихоньку плакал над ними, упрекая себя в неблагодарности, потому что имел глупость променять целую Таракановку на одну Симочку. Правда, эти письма отличались большим лаконизмом, и их содержание больше вертелось около хозяйственных вопросов, вроде того, что корова Верочки отелилась пестрым бычком и т. д., но я умел по этому скудному содержанию восстановить жизнь в Таракановке в самых ярких

красках.

Перед святками я получил очень длинное письмо, которое было написано рукой отца, его ровным твердым почерком, который я так любил. Между прочим, отец писал: «Брат твой Аполлон зело огорчает нас с матерью своим поведением. Недавно Аполлон объявил нам с матерью, что он возымел намерение сочетать себя браком с женой Меркулыча; разумом помраченный сын не хочет слышать наших увещаний, упорствует и негодует, ради своей неистовой страсти и плотоугодныя любве... Сей злебеснующийся брат твой делает нас с матерью прискорбными даже до смерти.

Учись, Кир Викентьевич, уважай старших, люби своих начальников, иже, любя, наказуют; ты наш Вениамин, а наш Иосиф сам предался в руки новой жены Пентефрия. Кланяйся о. Марку; о предложении Иринарха подумаем, и проч.»

Глава 8

На святки я не ездил в Таракановку и проводил время самым печальным образом. Больше всего меня огорчило то обстоятель-

ство, что после письма, в котором отец жаловался на Аполлона, я в течение целого месяца не получал ни одной строки, хотя сам писал исправно через две недели; когда святки прошли и наступили занятия, я даже обрадовался им, потому что мое одиночество надоело мне хуже тюрьмы. Однажды, в первых числах февраля, я зубрил из филаретовского катехизиса, Антон лежал на лавке и плевал в потолок, в это время дверь в комнату отворилась, и показалась лохматая голова кучера о. Марка.

— Тебе кого надо? — закричал Антон, запуская в кучера латинским словарем.

Лохматая голова на мгновение скрылась, и потом уже за дверями послышалось:

— Здесь квартирует таракановский попович? Отец Марк прислал за ним...

Я торопливо надел свой камлотовый сюртучок, шубу и вышел на улицу, где меня дожидались уже лубочные пошевни. Через полчаса мы подъезжали к домику о. Марка, и я никак не мог понять, зачем ему было нужно меня. В голове у меня даже мелькнула страшная мысль, что не умер ли мой отец, вообще

предчувствие чего-то дурного не оставляло меня всю дорогу. Когда я вошел в переднюю и снимал галоши, какая-то девочка бросилась ко мне на шею и молча принялась целовать меня; в первую минуту я принял ее за Симочку; каково же было мое удивление, когда эта девочка заговорила голосом Верочки... Да, это была Верочка, а из гостиной доносился до меня веселый голос отца.

— Ну что, доктор, обрадовался? — говорил отец, когда я бросился обнимать его. — Вот, братец, тебя приехали проведать...

В голубой гостиной на диване рядом с Агнией Марковной сидела моя мать и улыбалась счастливой улыбкой; Надя в новом ситцевом платье «с лазоревыми цветочками по розовому фону» ходила, обнявшись с Симочкой, которая, кокетливо ежа плечиками, прищуренными глазками смотрела на Аполлона, мрачно сидевшего в углу комнаты. Словом, вся наша семья была в полном своем составе, и я не знал, как разделить себя между ними. О. Марк, по случаю приезда гостей, облекся в лежалый подрясник табачного цвета, только что вынутый из сундука; он весело щурил

свои маленькие глазки, торопливо бегал по комнате маленькими воробьиными шажками и несколько раз повторял одну и ту же фразу:

— Однако ты, Викентий Афанасьич, постарел... Сильно, брат, постарел!

— И ты, отец Марк, не помолодел, — добродушно отвечал отец.

— А ведь, подумаешь, давно ли мы с тобой на одной скамье сидели... а? Ведь и Иван Андреич жив... Помнишь: «Иван Андреич, гуська привезу»... Горячо порол... бывало, как засыплет лоз пятьдесят...

— Ах, папа, какой ты разговор нашел! — томно заметила Агния Марковна. — Неужели нет другого разговора...

Мать с замечательным искусством перевела речь с «березовой каши» на какой-то другой разговор. Аполлон все время просидел в углу, отделываясь односложными ответами; он был не в духе и нервно покручивал небольшие черные усики. Я с первого раза заметил, что все наши были разодеты во все новое, и с удивлением рассматривал новые платья на сестрах и матери, новый подрясник на

отце и новый суконный сюртук на Аполлоне. На эту поездку в Заплетаево, чтобы не ударить лицом в грязь перед о. Марком, был затрачен целый годовой доход отца и даже были взяты деньги в долг у Рукина. У Аполлона были новенькие серебряные часы, что по моим понятиям было верхом роскоши. Глядя на туалет сестер, никто даже и не подумал бы, что Верочка дома сама моет полы и сама доит корову, а мать с Надей просиживают целые ночи над работой «в люди». Смысл этого маскарада и таинственного превращения из художественно наложенных заплаток во все новое объяснился для меня только через несколько дней, в течение которых происходили какие-то таинственные совещания, обмен многознаменательными взглядами и улыбками — словом, целый ряд самых замысловатых поступков. Особенно меня удивляла мать. Она держала себя с большим гонором и ничему не удивлялась; Верочка держала себя точно так же и не выдавала себя ни одним движением, только бедная Надя попадала впросак на каждом шагу и не умела скрыть своего удивления перед роскошью нарядов

заплетаевских поповен, ощупывала мягкую мебель и постоянно спрашивала, сколько стоит такая-то вещь и где куплена. Вообще, Надя была неисправима, и мать каждый вечер читала ей длиннейшие нотации.

Отец с о. Марком ездили с визитом к Иринарху и приехали оттуда в самом блаженном настроении; о. Марк петушком забегал впереди отца и, показывая два ряда черных зубов, повторял: «Что я тебе говорил... а? Я тебе говорил... а? Это, брат, такой человек... такой человек»... Потом отец с о. Марком долго о чем-то беседовали в кабинете с глазу на глаз, туда же была приглашена мать, и опять совершилась та же таинственная беседа. Надя в обнимку с Симочкой ходили из комнаты в комнату. Верочка сидела с Агнией Марковной; Аполлон ходил по зале из угла в угол, безостановочно курил папиросы, постоянно вынимал из кармана часы, открывал их и, не взглянув на циферблат, снова прятал их в карман. Наконец эти таинственные совещания кончились, отец и мать показались из кабинета с самыми торжественными лицами, о. Марк улыбался и утирал грязным платком

глаза; все сели.

— Теперь нужно спросить Агнию Марковну, — торжественно заговорил отец, — теперь за ней слово... Я, Агния Марковна, учился с твоим отцом, жили мы душа в душу, поженились, и вот бог наградил нас детками. Детки подросли... нужно пристраивать... Вот мы говорили...

Аполлон бледный, как полотно, смотрел своими серыми глазами на отца. Агния Марковна закраснелась и одной рукой перебирала оборочку своего платья; мне было и совестно, и больно, и как-то неловко за всех.

— Одним словом, Аполлон Обонполов делает вам предложение, Агния Марковна! — отрезал, наконец, отец. — Дело это очень важное, поэтому вам следует о нем хорошенько подумать, а мы подождем...

— Я... я не думала... я... — заговорила Агния Марковна, опуская глаза. — Папа... если...

— Конечно, Аполлон не кончил курса в семинарии, — заговорила мать, — но у него отличный голос... Архимандрит обещает ему дьяконское место.

Агния Марковна как-то испуганно, широко

раскрытыми главами посмотрела сначала на мать, потом на о. Марка, разом побледнела и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.

— Вот оно какое дело-то девичье, — снисходительно заговорил отец: — разговору даже боится...

— Это даже очень хорошо, — строго заговорила мать. — Агния Марковна, как воспитанная девушка, и в мыслях, конечно, ничего не имели, а тут вдруг...

— По-моему, живи не живи у отца, а все замуж выходить придется, — как-то плаксиво затянул о. Марк. — Только Агния у меня добрая душа... она... тяжело будет мне расставаться с ней, старику...

— Дело житейское, — смеялся отец и рассказал приличный случаю анекдот о том, как одна дочь говорила матери, что «хорошо тебе, маменька, было выходить замуж за папеньку, а ведь мне приходится идти за чужого».

Мать вышла из комнаты и через несколько минут вернулась с Агнией Марковной, которая заметно успокоилась и изъявила свое согласие. Жениха и невесту заставили поцеловаться, потом все молились, вечером прие-

хал Иринарх, веселый, любезный, красивый. Подано было шампанское, и все пили за здоровье жениха и невесты.

— Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, — певуче говорил Иринарх, отпивая маленькими глотками из своего бокала.

Все были очень веселы, улыбались и вообще чувствовали себя необыкновенно хорошо; даже Аполлон повеселел и снисходительно улыбался Агнии Марковне. О. Марк несколько раз принимался рассказывать о том, как его пороли, Иринарх улыбался и, полузакрывая глаза, говорил:

— Это было прежде... Ведь дети, разве можно с них требовать? Я так люблю детей...

Иринарх даже прослезился.

Вечером этого многознаменательного дня произошло некоторое событие, кончившееся для меня самым печальным образом. Когда я вернулся из Заплетаева на свою квартиру, в моей комнате сидели Антон и Гришка, благодушествуя около графина с водкой. Они были сильно пьяны и недружелюбно посмотрели на меня мутными глазами; Гришка, как блуд-

ный сын, не присутствовал при сегодняшнем торжестве, но откуда-то уже все знал и встретил меня вопросом:

— Ну, будущий родственник, шампанское пил с Иринархом?

Я ничего не отвечал, предчувствуя что-то недоброе.

— Убили бобра... Ха-ха! — засмеялся Гришка, обращаясь уже к Антону. — Аполлон-то бельведерский пощелкал-пощелкал зубами в Таракановке и придумал: «Дай женюсь на богатой невесте»... Так я говорю, Антон?

— Та-ак, — соглашался Антон, как-то забавно поднимая брови кверху.

— Расчет самый верный... ха-ха! — продолжал Гришка, вышивая рюмку водки. — На голодные-то зубы и Агния Марковна сойдет за настоящую невесту... Убили бобра!.. Агния-то Марковна три года жила с Иринархом, надоела ему, да и Симочка подросла — вот дурака подходящего и подыскали столкнуть Агнию Марковну... Живет старуха за барином! А то позабыли, что я наследник... Ха-ха!.. Я им всем утру нос-от... Думают, умрет отец Марк, мы все наследство и заберем. Как бы не так!

— Ты говоришь, Гришка, Агния-то три года с Иринархом жила? — спрашивал Антон.

— А то как же иначе, конечно, жила: я сам от нее записочки Иринарху возил...

— А теперь, говоришь, он Симочку к рукам прибирает?

— Верно... конфеты ей возит, улыбается... У-у, разбойник! Гришка, брат, все видит, да ему наплевать на них на всех, мне отдай наследство — а там черт с вами со всеми.

— А ловко Иринарх облапошил Аполлошку Обонполова.

— Еще как ловко: как сани подал, садись да поезжай. Во дьякона обещал поставить Аполлошку-то... Ха-ха... Сливочки-то отец Иринарх снял, а отец дьякон после него снятое молочко будет допивать... Ха-ха!.. Агния мне сестра, а я всем скажу, что она с Иринархом жила... И в рожу наплюю Аполлошке, зачем за чужим наследством гонится!

— Сокрушу зубы грешника, и возрадуются кости смиренные, — заключил Антон.

Вся эта сцена мелькнула предо мной в каком-то тумане; помню только, как во сне, как что-то сдавило мне горло, помню, как у меня

от бешенства перекосило все лицо и как я бросился со стулом на Гришку. Затем я очутился на полу, кто-то меня таскал за волосы, плевал мне в лицо, и, наконец, послышался голос Антона: «Давай, Гришка, потопчем наследника»... Меня начали топтать ногами, давили грудь коленкой, и, наконец, все скрылось в каком-то тяжелом тумане. Когда я очнулся, в комнате никого не было, я по-прежнему лежал на полу, а в окно смотрела яркая луна; мне почему-то показалось, что я не Кир Обонполов, а Меркулыч, которого на моих глазах колотили Прошка с Вахрушкой... Меркулыч так же лежал на полу и гак же не мог пошевелить ни одним пальцем; припоминая разговор Антона с Гришкой, я позабыл о собственном положении и задрожал от подавляющего чувства унижения... Что они говорили о моем отце, об Аполлоне, об Агнии Марковне, о бедной Симочке!.. Бедная Симочка... Я никогда так не любил ее, как в эту минуту, и мне невыразимо приятна была одна мысль, что я, вступившись за нашу фамильную честь, пострадал отчасти и за нее, даже пролил несколько капель крови.

Я кое-как дополз до своей кровати и здесь забылся тяжелым, ужасным сном; утром Иван Андреич пришел будить меня, но я мог только мычать. Старик испугался; явилась Ариша, вспрыснула меня холодной водой, но и это всесильное средство не помогало. Решили послать в Заплетаево. Помню, как вбежала в комнату моя мать, припала к моей постели и громко заплакала; потом явились отец, о. Марк, Аполлон. Все выспрашивали меня, но я не говорил ни слова о том, кто меня бил и за что; даже приехал Иринарх и тоже выпытывал меня, но я выдерживал характер и отказался рассказывать что-нибудь наотрез. Исчезновение Антона и Гришки было поразительно, но, кажется, никто не обращал на это внимания; только вечером, когда со мной сделался бред, я разболтал имена моих врагов, их схватили в кабаке у Катеньки и посадили в карцер. Мать целых три дня не отходила от меня, пока я настолько не поправился, что мог обходиться без ее помощи; она больше ничего не спрашивала от меня и даже старалась плакать потихоньку от меня. Я долго не решался рассказать ей все, но мысль, что Ан-

тон и Гришка все равно попались и что они теперь для собственного спасения могут оболтать меня, — эта мысль наконец развязала мой язык, и я со слезами рассказал матери все. Мать молча выслушала меня и проговорила:

— Мало ли что говорят, Кирша... А если бы они тебя убили!

— Мама... зачем они так говорили о Симочке? Я зарежу Гришку... Возьму нож и зарежу.

Матери стоило большого труда успокоить меня; мне было четырнадцать лет, и я мало-помалу поддался ее ласковым речам, поцелуям и тихим утешениям. Между прочим, она обещала мне, что никому не скажет ни слова о моей истории, и я помирился с мыслью не резать Гришку.

— Нам сколько горя-то было с Аполлоном! — говорила мать. — Разве лучше будет, если он женится на Лапе? Агния Марковна — воспитанная девица, напрасно говорят про нее разные пустяки.

Итак, я пострадал, пролежал три дня в постели, и на четвертый день меня перевезли в Заплетаево, где я целую неделю щеголял с пе-

ревязанной головой и пластырями на спине. «На молодом теле и не это износится», — утешал меня о. Марк, и, действительно, мои синяки и ссадины износились как раз к свадьбе, к которой происходили самые деятельные приготовления, так что в их шуме совсем позабыли обо мне, что меня сильно огорчало. В доме о. Марка происходила вдесятеро большая суматоха, чем на свадьбе Меркулыча: те же полосы всевозможных материй, те же песни, девичники, обручение и прочие церемонии, для которых выбивались из сил все до последнего человека. О. Марк метался, как мышь в западне, по всему дому с какими-то ключами, кричал, прискакивал на одной ножке и успевал сто раз рассказать о том, как его «кормили березовой кашей». Иринарх приезжал каждый день, привозил с собой конфект, певчих и подарил моим сестрам и Симочке по золотому браслету, а невесте аметистовое колье. Это была такая роскошь, от которой у нас глаза разбежались; мы с каким-то удивлением смотрели на Иринарха, точно он был чародей, которому стоило трахнуть рукавом своей рясы, и из нее, как из рога

изобилия, посыплются дождем сотни браслетов.

Гришка и Антошка сидели все время в карцере; я по случаю свадьбы в училище не учился и несколько раз из любопытства проходил мимо карцера. Раз в узеньком окне с толстой железной решеткой я заметил лицо Гришки, он тоже увидел меня и закричал своим диким голосом: «Наследник, изведи из темницы душу мою!»

Несчастной женитьбе Аполлона решительно не везло, и она закончилась крупным скандалом. В самый день свадьбы к домику о. Марка, весело позванивая бубенчиками, подкатила совсем взмыленная тройка; из кибитки вышел худой старик небольшого роста с золотыми очками на носу. Это был такой славный и такой добрый старичок! Он весело поздоровался с нами, звонко высморкался в передней и прямо в своих мягких пимиках неслышными шагами, как котик, прошел в кабинет о. Марка.

— Это дядя Симочкин, — решила Надя.

Я был очень доволен, что у Симочки такой славный дядя, и скоро совсем позабыл о нем.

Да и было когда позабыть, потому что через час было назначено венчание, и во дворе стояло уже несколько троек из поезда жениха; я был шафером и совсем обезумел от радости, когда Симочка своими маленькими ручками приколола к борту моего сюртука прелестный розовый цветочек. Отъезд в церковь, обряд венчания, затем возвращение домой — все это проходило, как в тумане; помню, как отлично пели наши училищные певчие, как дьякон «отхватил апостола» и особенно налег на слова: «жена да боится своего мужа»; затем помню, что невеста была во всем белом, что Аполлон держал себя молодцом, что я бежал куда-то с небольшой иконой, и что меня сильно толкали, и что я тоже всех толкал и все старался быть непременно вместе с Симочкой, одетой в белое кисейное платье и походившей на ангела.

Когда мы вернулись из церкви, в дверях домика о. Марка бойкая старушка-сваха встретила молодых с решетом в руках и обсыпала их хмелем, потом все прошли в зал, отец и мать стояли с иконами в руках, около них стоял о. Марк и тоже держал икону. Молодых

благословили, певчие пропели «гряди от Сиона, невеста моя, гряди, голубица моя»... и явился Иринарх; все поместились за один длинный стол, поздравляли молодых и кричали: «Горько!» Молодые целовались, мне это очень нравилось, и я тоже кричал: «Горько!»

— Доктор знает свое дело хорошо, — шутил Иринарх на мой счет.

Под конец обеда, когда общее веселье было во всем разгаре, двери кабинета о. Марка растворились, и на пороге показался дядюшка Симочки в своих пимиках; я только что хотел крикнуть: «Горько, дядюшка!», как взглянул на отца и остался с открытым ртом. Отец страшно побледнел, молча поднялся с своего места и страшно посмотрел на сладко улыбавшегося дядюшку; мать схватила отца за рукав, а о. Марк заплетавшимся языком лепетал:

— Се что добро и красно, во еже жити, братие, вкупе...

— Подлец!.. — загремел отец и так ударил кулаком по столу, что рюмки и бокалы полетели с него на пол.

Дядюшка перестал кланяться и вопроси-

тельно посмотрел кругом; Иринарх уговаривал отца, о. Марк, как угорелый, метался по зале.

— Ты меня пустил по миру... — задыхавшимся голосом, с налитыми кровью глазами дико кричал отец: — Будь же ты от меня навеки подлец... Викентий Обонполов не будет тебе кланяться... Викентий...

Отец зашатался на месте и упал на стул; я понял, что сладенький дядюшка был не кто иной, как знаменитый консисторский секретарь Амфилохий Лядвиев.

Через два дня отец умер от апоплексического удара. Мать была до того убита этим страшным горем, что даже не могла плакать. Уже после похорон она как будто пришла в себя и в первый раз горько-горько заплакала. Эти слезы были вызваны словами Нади, которая припомнила, что перед самым отъездом из Таракановки без всякой видимой причины знаменитая картина, висевшая в передней нашей квартиры в Таракановке, упала сама собой на пол.

— Чуяло мое сердце, что это не к добру, — шептала мать, не вытирая слез.

Эпилог

Год смерти моего отца был последним годом моего учения в гавриловском духовном училище, из которого я перешел в ...скую семинарию. В семинарии я проучился четыре года «в качестве казеннокоштного»[164] и отсюда поступил в Казанский университет. Пока я учился в семинарии, брат Аполлон получил дьяконское место при гавриловском монастыре, прослужил здесь два года, спился и через два года умер от чахотки. Иринарха тоже давно не было на свете. Это случилось так: «во едину от суббот», когда в училище происходила экзекуция, Иринарх под колоколом запорол одного ученика. Как ни силен был архимандрит, он не мог замазать этого дела. Назначено было следствие, причем всплыли и подвиги Иринарха с заплетаевскими поповнами, а главным образом — богатая монастырская казна оказалась совсем пустой, и даже была утрачена знаменитая архиерейская митра, осыпанная бриллиантами, сапфирами и аметистами. Скандал вышел совсем беспримерный, огласить который меньше всего было в интересах духовных следователей, кото-

рые, чтобы как-нибудь замять эту темную историю, «сплавили» Иринарха на покой, куда-то на север, в один из самых глухих монастырей. Об этой истории долго говорили в ...ской губернии, но, как и многое другое на свете, эта история была унесена рекой забвения, особенно, когда все узнали, что медовый владыка Иринарх отдал наконец свою мудреную душу богу. Доктора Сергея Павлыча тоже давно не было: он кончил свои дни в заведении душевных больных в Казани, где я, будучи студентом, несколько раз имел случай наблюдать его; болезнь — тихое сумасшествие от размягчения мозжечка — была безнадежна.

Моя мать по-прежнему жила в Таракановке, у старшей моей сестры Нади, которая вскоре после смерти отца вышла за одного из представителей фамилии Портнягиных, бухгалтера таракановской заводской конторы. Верочка тоже была замужем. Она теперь носила фамилию Сермягиных. Моим сестрам выпала мудреная задача примирить эти искони враждовавшие между собою фамилии.

Прошло ровно десять лет после смерти от-

ца, когда я в светлый июльский день на паре земских лошадей в какой-то таратайке подъезжал к Таракановке. В моем дорожном чемодане лежал диплом на доктора, значит, мечты Кира Обонполова превратились в действительность, хотя на мне и не было военного кителя и на козлах не сидел денщик Иван, как я мечтал об этом когда-то. Я только что кончил курс в Казанском университете и ехал на службу в ...ское земство.

Таракановский завод мало изменился за эти десять лет: те же прямые улицы, та же старая деревянная церковь, та же фабрика... Моя повозка выезжала на главную площадь. Вот и наш домик, вот волость, дома Прошки и Рукина, избушка Луковны. Попалось навстречу несколько рабочих, — физиономии совсем незнакомые, это уже другое поколение, которого я не знал. Расспросив, где живет Портнягин, мы остановились перед небольшим домиком в три окна, стоявшим позади волости. Вон идет какая-то старушка по двору с тарелкой в руках, она остановилась и внимательно смотрит на меня через большие очки.

— Мама...

Старушка выронила из рук свою тарелку, бросилась ко мне на шею и горько заплакала, не переставая шептать каким-то страстным, задыхающимся шепотом:

— Кирша, Кирша... Вот отец-то не дожил до радости... Как бы он порадовался... а?.. Как ты постарел, Кирша...

— Мама, я устал с дороги.

Старушка посмотрела пытливым взглядом мне в глаза, точно она сомневалась в моей подлинности и не доверяла своим собственным чувствам. Пока происходила эта красноречивая немая сцена, кто-то дико вскрикнул у меня за спиной и повис на шее: по голосу это была Надя, но по наружности это была почти старуха, с желтой морщинистой кожей на лице, выцветшими губами и озабоченным взглядом.

— Как бы папа был рад... — пряча у меня на груди лицо, шептала Надя.

Через пять минут я сидел в небольшой опрятной комнатке, окруженный целым роем молодых людей: был тут и Викентий, и Аполлон, и даже Кир; две загорелых, смуглых

девочки стояли немного в сторонке и не решались подойти к своему дяде; отчаянный детский вопль слышался откуда-то из-за перегородки. Надя и смеялась, и плакала, и конфузилась за эту полдюжину ребят, на которых разрывалось ее доброе, любящее сердце и которые унесли у нее молодость, песни и смех.

— И все это Портнягины? — спрашивал я, лаская русые головки.

— Все Портнягины...

— А Верочка?

— У Верочки нет детей, — с гордостью матери объяснила Надя.

Один из молодых людей успел уже сбегать за Верочкой, и она входила в комнату розовая и свежая, но не бросилась ко мне на шею, не заплакала, а очень степенно облобызала своего братца и не вспомнила при этом об отце. Мать, кажется, ошиблась в своей умной дочери, которая оказалась слишком расчетливой.

— О чем же вы плачете? — удивилась Верочка.

— Вот и Аполлоши нет... отца нет... — сквозь слезы говорила мать. — Не с кем и порадоваться... Когда горе, тогда не так тяжело

без них, а вот ра... радость-то не в радость... Как-то обидно, Верочка... поднял бы их из могилы...

— А что Луковна? Январь Якимыч? — спрашивал я, чтобы перевести разговор на другой предмет.

— Живут... — с улыбкой сквозь слезы отвечала мать.

— А ты слышал про Лапу, что она замуж вышла? — спрашивала Верочка. — Вышла за Рукина, Емельяна Иваныча... Теперь купчиха, богатая стала. Дети у ней есть... При богатстве, конечно, дети хорошо, а при бедности не дай бог!

Верочка забросила камешек в огород Нади, но та только улыбнулась: «Дескать, из зависти это, матушка, пустяки говоришь».

Через час я знал уже все новости, какие были в Таракановке, и познакомился с мужьями сестер, которые мне очень понравились, как простые и добрые люди. Но это был чужой народ, — и эти хорошие люди и это второе издание Киров, Аполлонов и Викентиев; меня так и тянуло к Луковне и к Январю Якимычу, к этим друзьям моего детства, кото-

рых мне страстно захотелось видеть, говорить с ними, послушать их старческую болтовню и унестись в далекое-далекое прошлое.

Вечером я подходил к избушке Луковны, и при виде этой убогой лачужки у меня дрогнуло сердце, точно растаяла какая-то кора, которая наросла на нем за эти десять лет. Ворота были открыты, то есть не было уже столбов. Наклонившись, я вошел в темные сени и отворил дверь в комнату Луковны. Эта комната была так же убога, как десять лет назад. На деревянном кухонном столе стоял самовар и чашки с недопитым чаем. Сама Луковна сидела у стола на лавке и прищуренными глазами злобно смотрела на ходившего из угла в угол Января Якимыча. Старики сильно изменились: сгорбились, похудели и точно выцвели. Луковна от прежней силы сохранила только режущий взгляд небольших черных глаз да твердый склад губ. Январь Якимыч, бедняга, совсем высох и походил на те «сухарины», то есть сухие деревья, которые иногда попадаются в лесу и среди живых деревьев кажутся такими несчастными. Старики настолько были заняты собой, что не заметили моего появ-

ления.

— Красивее... красивее! — повторял старик, вытягивая тонкую жилистую шею.

— А вот и соврал, — отвечала Луковна: — ежели хвост крючком у собаки, — это не хорошо, а когда опущен, — красиво.

— Это, Луковна, только у бешеных собак хвосты опущены... Прожила ты до преклонных лет, а этого не знаешь!

— Ну, и ты не молод, батюшка.

— Здравствуйте, — заговорил я, не понимая ничего в этой сцене.

Старики посмотрели в мою сторону; Луковна поднялась со своего места и с радостной улыбкой проговорила:

— Как же это... да это ты, Кир... вы, Кир Викентьич? Ах, батюшки...

— Он! Он! — радостно возопил Январь Якимыч и, поспешно заключив меня в свои объятия, с раздражением в голосе начал жаловаться: — Вот она-с, — Январь Якимыч кивнул головой на Луковну, — совсем из ума выживать стала... Ей-богу! Должно быть, при древности своих лет, в понятии мешается.

— И ты, батюшка, тоже хорош! — обижен-

но заявила в свою очередь Луковна.

Старики опять сцепились на тему, какая собака красивее — с опущенным хвостом или с загнутым крючком. Они настолько увлеклись своим спором, что не обращали на меня никакого внимания, точно мы расстались всего вчера, а не десять лет назад. Это превращение в состояние полнейшего детства сильно огорчило меня, а потом рассмешило, когда старики опомнились и законфузились, причем старались свалить вину один на другого.

Дверь в бывшую комнату Меркулыча была открыта. Комната была совсем пустая, и я напрасно искал хоть какой-нибудь вещи, которая напоминала бы моего погибшего друга. Я заглянул в дальний конец комнаты, там на куче тряпья что-то зашевелилось.

— Кто это там у вас? — спросил я.

— А Кинтильян, может, помнишь? — отвечала Луковна. — За свое буйство да за материны слезы господь и смирил.

— Как смирил?

— Это уж давно, года с два. Об рождестве Кинтильян где-то нахлестался водки да в снегу и уснул. Тут себе ручки и ножки отморо-

зил... Вот Январь их ему и обрезал. Теперь лежит, как колода. Не под силу мне его таскать-то... Спать бы, так сна, говорит, нету. Так вот и маемся... Корочку подашь, из блюдечка чаем напоишь — вот и сыт. Может, Лапины слезы да Меркулычева кровь отливаются, — прибавила Луковна. — Помнишь Меркулыча-то? Ведь тогда Кинтильян ворота им вымазал. Прошка с Вахрушкой напоили да пьяного и научили, как это сделать... Ох-хо-хо! Господь-то батюшка все видит, кто кого обидит. Любя наказует нас многогрешных... Прошки тоже уж нет, от горячки помер, а Вахрушку в драке кержаки убили.

Я прожил в Таракановке целое лето в видах поправления сильно расшатавшегося здоровья, собственно нервной системы. Я часто посещал моих стариков, то есть Луковну и Января Якимыча, которые постоянно ссорились между собой из-за разных пустяков и, как это случается, совсем не могли жить один без другого. Еще чаще, забрав своих племянников, я на целый день уходил куда-нибудь в лес и старался вести растительную жизнь по преимуществу. Молодое поколение было без

ума от таких прогулок, и мы не пропускали даром ни одного светлого ведреного дня. Лежать неподвижно по целым часам в свежей, мягкой, душистой траве, чувствовать каждой клеточкой животворящую силу солнечной теплоты, по целым часам смотреть в голубое небо, — что может быть лучше этого!

Здесь, на любвеобильной груди природы, я уносился в свое прошлое, где вставали дорогие для меня тени отца, Аполлона и Меркулыча. Воспоминания об отце всегда наталкивали на «секретаря», который сумел довести отца до могилы своей системой замолчания: мой бедный отец именно был замолчен и забыт в медвежьей глуши, повторив участь, вероятно, очень многих талантливых и честных людей, не умевших покориться. История Аполлона тоже поднимала много горечи в моей душе. Я понимал, какая роль досталась ему у Иринарха и почему он спился. Бедный Аполлон! А вот по этим горам, которые зеленеют теперь передо мной, купаясь в золотистом струившемся воздухе, по ним сколько раз мы ходили с Меркулычем... Счастливое, беззаботное время! Дети веселой гурьбой

окружали меня, цеплялись мне за плечи, заглядывали в глаза и смеялись чистым детски-беззаботным смехом, в который жизнь еще не вплела ни одной злой или неестественной нотки. Неужели и вас, русые беззаботные головки, ждут те же секретари, Иринархи, Прошки и Вахрушки?

Пойте, резвитеся, дети.
Пойте, сплетайте венки!

Ведь и я когда-то, давно-давно, улыбался такой же беззаботной счастливой улыбкой, а теперь... Отдохнуть хочу, отдохнуть хочу каждой каплей крови, каждой клеточкой. Я вполне понял теперь состояние Сергея Павлыча, который по целым дням кипятился из-за какой-нибудь ниточки: это был вытянувшийся на работе человек, у которого не было места живого на теле. Я понял Луковну с ее смешными предчувствиями и верою в сны: не такими ли же предчувствиями и не такой же верой в сны живет и все человечество, — так же работает, радуется, ждет, плачет и обращается в состояние детства, где иллюзии создания воображения получают силу и смысл

действительности и человек получает способность ждать даже то, чего никогда не случится?

«Все мы хлеб едим...»

(Из жизни на Урале)

Глава 1

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово, — говорил мой приятель Павел Иваныч Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. — То есть, я вам наивно доложу, после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в N**, - пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие стоят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачка есть на примете: легашик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, поедемте в Шатрово?! Остановимся у попа, важнеющий поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатею-

щий поп, я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не одно... Нет, завтра же поедем!

— Я с большим бы удовольствием, только на чем мы с вами поедем?..

— На чем?!.. Да вы только скажите одно слово: завтра, в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.

— Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.

— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и легашик — все на примете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил, — такой же жиденький из себя, как вроде вас, — так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично погостим у отца Михея... Я уж

знаю, чем старику угодить: парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня расцелует.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый и плотный, он был некрасиво скроен, да крепко сшит; в глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием; маленькие светло-карие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, в крайнем случае — сорок пять, а в действительности было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юноше-

скому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атласный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой, в манжетах красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла Иваныча не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит, ни больше, ни меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так: Сарафанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отличалась замечательной разносторонностью: он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком дра-

гоценных камней, мыловаром и т. д.

Он имел скверную привычку разом браться за десять дел и поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности.

Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только где-то за городом клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холо-

стяком и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, вечно находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете, — весь город ему был знаком и все было на примете: нужно вам козу — через час Сарафанов ведет ее за рога, нужна скрипка — и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес, как живая история и география N*-ского уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за плечами, исходил его вдоль и поперек.

Иногда он привирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, — он сам верил ей первый. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, он являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» — в пе-

реводе значило «серьезно»; в этом же значении он употреблял слово «сентиментально»; «хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял, я никак не мог привыкнуть и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии — эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно, слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда — «смелость», реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то образование, то comme il faut. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова означали даже «мошенничество».

Глава 2

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги да поверх

сюртука набросил татарский азям.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал, — говорил он, помогая мне одеваться. — Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты... Как же это? Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...

Действительно, у ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в новеньком с иголочки коробке сидел хромой легашик, на дрогах, впереди и сзади коробка, были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящиков, узелков, сундуков, он был немыслим.

— Конь в езде, друг в нужде, — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.

— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..

— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.

Через десять минут мы уже выезжали из города.

— Как N**-то наш обстраивается, — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в стороне от тракта, среди соснового бора. — Истинно можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жиды... очень грациозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золотопромышленники... Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте: один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть богачей, — страшенные богачи были, а как жили: мужики мужиками, а захочет развернуться — глупость его мужицкая и объявится. Наивно вам говорю... То церкви устраивают, моленные, австрицких архиреев выписывают, то начнут шампан-

ским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?

— Нынче залежных денег ни у кого нет, — сегодня беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хвата: иду от вас, а кто-то едет на паре и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей, а он их в кубышку да в землю, да по двугривен-

ному через год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тонкость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации, а, глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так на парах и зажаривают; или взять карты — ведь пустяки и даже грешно-с, а сколько у нас в N* этими картами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особливо адвокаты: что сорвал, то и продал. Богачи-то, как пузыри после дождя: вскочит, покружится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой вилась дорога, была слегка холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранившимися гривками молодого сосняку. Озими ко-

лосились; яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки; они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптанным тропинкам, тянулись вереницы богомолок, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки, но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом... Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные русские лица!

— Ишь, как лопочут, — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. — По обещанию больше идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Мо-

настырь в Екатеринбурге важнеющий, и игуменья молодца.

Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без промаха, но легашик оказался плох, — не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек, — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую грудь, — ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил.

Дожидаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали; легашик свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать

нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра; пахло свежей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово, — говорил Сарафанов, — а что такое Шатрово? Деревня, и больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове — вы чего думаете — тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням, — ведь кажется, пустяки: самовар! — кончено, всю эту простоту, как рукой снимет. А как наладят чугунку на Тюмень, тут держись... Нам в N* эта самая чугунка много слез привезла, и, можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с

шести рубликов за мешок на одиннадцать, — шабаш, даже попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц двенадцать рубликов, семьища... Ох, не смотрели бы глаза!..

К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем, — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.

— А зачем отца-то Михея обижать?

— Чем?

— Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Авраам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Богатенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов лежит и угостить любит. А насчет разговору: как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто верст кругом все знают

шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раскинулось! — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта; на западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилистому течению Шатровки можно было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села.

Наш коробок мягко катился по узкой до-

рожке, минуя огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких избушек, вынесенных к самой околице, где, вероятно, жили старики да солдатки-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не чрез все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и нескольких питейных; он остановился у старой, покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким покряхтыванием вылезая из коробка.

— Дома.

— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?

— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!

Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью;

немного косой разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно смягчалось, когда она улыбалась, выставляя два ряда точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы...

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?!.. — бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. — А ты как Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего пристал, как сера горючая?

— А ты, Аннушка, не тово...

В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубахе; он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иваныч? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай го-

стей, — распоряжался Сарафанов, здороваясь со стариком. — А ты, умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти заморились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь, как лошадь-то пересобачили, — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтеньем ворота. — Никак, прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.

Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятное впечатление, особенно когда он медленно останавливал на одной точке болезненно пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках у Шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли.

— Ишь, как его нашептывает, — говорил

Сарафанов, кивая головой на старика. — От этого самого и Шептуном прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми постройками: «стайки» (хлевы) для скота, амбары, сеновал; небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было, что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?

— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя никого из баб-то...

— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а она, стерва, за воротами все стоит...

— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки, что

ей стоять, видно, за воротами!

Глава 3

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли.

— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшее на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казинетовый сюртук и старый патронташ.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его муниция, — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога.

— Какой Лекандра?

— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Михею сын приходится.

— А, помню... Из лица немножко шадрив?

— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете.

— А почему он у отца не живет, ваш учитель?

— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет... Видно, у меня глянется лучше, — с улыбкой прибавил старик. — Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь никак.

Постояв немного в дверях, старик вышел

из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?!.. Собирай скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут, — откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно «шадрив», то есть его круглое добродушное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым оттенком бородка придавала физиономии Лекандры самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не видались! — приветствовал Сарафанов учителя. — Здоровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку, — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку.

— А отец Михей каково здравствует?

— У отца Михея чахотка, еле дышит...

— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А мамынька ваша?

— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.

— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандра Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах N*-ской цивилизации, о людях с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень понравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой и своим общественным положением, что не имел нужды ни

прибавлять, ни убавлять ни одного вершка собственного роста.

— А я, Павел Иваныч, женюсь, — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это по-ученому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая, которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже раскрыл рот от удивления.

— Спроси хоть Шептуна, — продолжал учитель.

— Чего тут спрашивать, — ворчал старик. — Только ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке жениться.

— Это уж не твоя забота.

— А то чья же? Не по себе дерево выбрал... Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл... У мужика изба своя, обзаведение, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, такому, на Анке жениться...

— Вы все шутите, Никандра Михеич, —

сказал Сарафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.

— Не может быть... — уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. — Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три сына в университете... Чистый хаос! Нет, уж ты, Никандра Михеич, пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой... Я тебе вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна, — ну, отдай все, да и мало! Всем взяла: вроде как вишня или малина.

— Вот ты и женись на ней, — предложил Лекандра.

— Ах, господи, господи... Вы все шутите, а как тятенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект подстроите? Ведь это, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: один брат доктор, другой прокурор, три в университете... Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу.

Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаяла собака; неугомонные петухи перекликались через всю деревню; простучала на улице телега. Сеновал был покрыт полусгнившими драницами; между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи... Ночная ли птица шарахнет крылом оземь, ветер ли набежит — трудно разобрать. Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя деревня, настоящая русская деревня, деревенский здоровый воздух льется освежающей струей над этими полями, рекой, лесом, самый месяц освещает не многоэтажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворников, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной клеточкой — вот единственное желание, которое теперь выражает желание большинства русских людей, не сеющих и не собирающих в житницы, не продающих и не покупающих. Да, отдохнуть...

— Вы не спите? — спрашивает Лекандра.

— Нет.

Небольшая пауза,

— Зачем Шептун так бранит эту Анку? — спросил я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам.

— Обыкновенная история: он стар, она молода.

— Этого еще мало.

— Они живут гражданским браком. Девку кровь душит, а старичонко еле на ногах держится. Вот и вздорят...

— Как же вы...

— Вы хотите сказать, как я решаюсь жениться на Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его поломает голову... Ха-ха!.. Анка еще не пойдет за меня. У ней от женихов отбоя нет.

— Ведь вы говорите, что она живет гражданским браком с Шептуном?

— Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем «образом звериньским, схождахуся межи сел». Мы смотрим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была «вроде как малина или вишня», а крестьянину нужна работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. Вы посмотрите, как целую жизнь работает деревенская баба, — именно как рыба о лед колотится... Все эти ошибки молодости не могут иметь здесь особенного значения.

Молчание. Учитель раскуривает папиросу.

— Скверно теперь у вас в городе?

— Как всегда.

— Одного не могу понять: зачем это люди лезут в эти города. Ей-богу! Скажите, пожалуйста: например, наш брат из семи кож вылезет, а все-таки добьется своего, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой палате нажить геморрой. Обыкновенно говорят про какие-то удобства цивилизованной жизни, про общественную жизнь, про удовольствия... Ведь врут, все врут до последнего слова! Какой-нибудь чиновник замурует себя в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока господь не приберет грешную душу. Деньжонки завелись, — «винтит» ночи напролет. Тьфу!..

— Что же в деревне делать?

— В деревне... Во-первых, деревня деревне рознь. Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно.

— Именно?

— Да вот хоть я: землю пашу. Отличная статья. Я, право, так рад, что развязался со всей этой «цивилизацией» Сарафанова. Свет увидал, а то такая мерзость на душе стояла —

хоть в воду. Видите ли, был я в университете... По слухам, уж очень хорошо там, значит, и нам туда же надо. Своего ума нет, так чужим живешь. Ну, и мода на образованного человека, и диплом, и этакой приличный оклад в некоторой туманной дали — все это имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел до третьего курса медицины, а потом все и похерил...

— Почему так?

— Плутовство одно, это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собственным лбом по крайней мере дорогу прошиб, а доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу!.. А какая была мода на этих докторов с легкой руки наших маститых беллетристов: каждый так и смотрит героем... Насмотрелся я на них, теперь — шалишь, знаем, чем подбиты эти все герои. И главное, заметьте, из тысячи человек один занимается, а остальные с грехом пополам только перелезают из курса в курс. Вот вам и

все его геройство. По-моему, нужно поставить науку, как она в Англии или в Америке, а не тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой... Вот я, когда перелез на третий курс, и начал думать: к медицине я никакого влечения не имею, да она и сама существует только как искусство для искусства.

— Именно?

— Возьмите доктора, что он делает? Ведь он шарлатанит из ста случаев в девяносто девяти... Одна только хирургия и вывозит, а остальное все гиль и чепуха! Морочат только богатых купцов да нервных барынь. Например, приезжает доктор к больному... Если больной — человек состоятельный, — он и без него поправится, если он бедняк — еще скорее помрет, потому что последние гроши снесет в аптеку. Один умирает оттого, что спился с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную болезнь; другой оттого, что вытянулся на работе, с холоду, с горя, с голоду... И в том и в другом случае доктор решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите в избу к богатому мужику,

особенно к раскольнику: да всем этим немцам, которые придумывали гигиену, и во сне не снилось ничего подобного — такая чистота заведена, словно языком все вылизано. И посмотрите, какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. Да-с!..

Учитель заметно раздражился и говорил с таким выражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил.

— Все это хорошо, и, может быть, в ваших словах много правды, — проговорил я, желая навести учителя на прежнюю тему, — но интересно, как вы дошли до мысли, что остается только землю пахать.

— Опять-таки не своим умом дошел, не беспокойтесь. У нас свой-то ум с семи лет отшибают... Был у меня один товарищ. В семинарии мы с ним вместе учились. Дело было в философии[165]. Крепкий был человек. Понимаете: сама натура. Учился, учился да однажды в классе профессору и начал отчиты-

вать: «Чему вы нас учите? Вот я девятый год давлю парту, а ни аза в глаза не знаю... Мне на ваших классиков наплевать!» Взбесился человек совсем, а потом бросил все да в мужики и ушел, землю пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные ему рисовать, а он нам: «Дураки вы, дураки... Ничего-то вы не понимаете и не понять вам ничего. Я буду мужиком в сто раз счастливее вас...» Вот, когда я был на третьем курсе, на меня это самое раздумье и напади... Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее письмо и жду ответа. Пишет: «Приезжай, сам увидишь. Твой Африкан Неопалимое». Кое-как дождался я лета, а потом к Неопалимову, в деревню. Отыскал его. Живет как мужик, и все тут. «Брось-ко, говорит, свою ученую дурь да ступай в мужики, если добра хочешь». Пожил я у него лето, присмотрелся... Ничего, действительно хорошо. Неопалимое давно был женат на крестьянской девке, детишки были — отлично живут. Вернулся я в Шатрово и свою медицину по боку: совестно стало чужой хлеб заедать. Только сразу упроститься, как Неопалимов, у меня пороху не хватило. Придумал я,

видите ли, поступить учителем и составить такую компанию, чтобы летом, когда у нас, учителей, нет занятий, сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек шесть. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко сделали и всякое прочее...

Лекандра замолчал и сердито сплюнул на сторону.

— Ну, и что же? — спрашивал я.

— Все прахом пошло.

— А теперь вы совсем упростились?

— Ну, этого еще сказать нельзя... Извольте-ка сразу расстаться со всей этой глупостью, которая наросла с золотых дней детства, — нет, это не вдруг. Опять и то смущает: упростишься, а потом не вынесешь. Вот исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и землю у родителя арендую. Третий год свое хозяйство веду...

— Где же оно у вас?

— Верстах в семи отсюда. Там у меня и избенка огорожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете как-нибудь.

Наступило молчание. Упрощавшийся человек тяжело вздыхал. Очевидно, ему хоте-

лось высказать еще что-то.

— Что же мешает окончательному упрощению? — спросил я.

— Вы не догадываетесь?

— Нет...

— Вот то-то и есть, а дело самое простое: разве мужицкое хозяйство можно поставить без бабы... Теперь поняли? Интеллигентный человек амуры да идеалы разводит и видит в жене... Ну, да черт с ним со всем, что он видит! Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, а когда дошло дело до бабы, — вот тут вся эта дрянь, которая накопилась в душе, и дает себя чувствовать. И себя загубить можно, и другого человека... Ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать, — все-таки большая разница. А может быть, она будет счастливее за настоящим мужиком... Гм... это я вам скажу... Кажется, светает?..

Глава 4

— Пойдемте купаться, — будил меня учитель ранним утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане. — Утро-то какое... а?..

Учитель лежал на животе, положив свою белокурую голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вставать, но желание с этого же дня начать настоящую деревенскую жизнь, наконец, превозмогло, и я быстро поднялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно спустились с сеновала по ветхой, дрожавшей под нашими шагами лесенке. Так и хотелось вернуться обратно и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анну. Она, с высоко заткнутым подолом, выгоняла подоенных коров.

— Анка, зачем ты на сарай к Лекандре лезешь? — доносился из избы голос Шептуна. — Вот я возьму кол да колом тебя, стерву!.. Анка!..

— Отвяжись, старый пес, — ворчала девка, храбро шагая с хворостиной в руке.

Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым белым туманом, тихо катилась Шатровка, наклоняя прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в ближайших кустах, и только глухой всплеск во-

ды, распахнувшейся под его телом вспененной волной, показывал место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгновений он не появлялся на поверхности, а потом только по фырканью и кряхтенью можно было определить, где он плыл в тумане. Я попробовал последовать его примеру, но после пяти минут, проведенных в холодной воде, у меня зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды и одеться.

— Что, замерзли? — доносился голос учителя из тумана.

Он плавал еще с полчаса и вылез из воды только тогда, когда все тело покраснело от холода и зубы стучали как в лихорадке. Прикрывшись рукой, на манер Венеры Медичейской, Лекандра скрылся в кустах, откуда все время его туалета доносилось какое-то забавное фуканье носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман начал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной пеленой тихо поднялся кверху, открыв реку во всей ее красоте, — с живописными берегами, выложенными ярко-зеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей водой, отра-

жавшей в себе и небо и плававшие на небе облачка.

— На нашем солнышке греетесь... — под самым моим ухом произнес чей-то приятный басок.

Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с высоким священником, облеченным в белоснежный пикейный подрясник и с широчайшей панамой на голове. Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, как подушку, десницу и тем же баском проговорил:

— Честь имею рекомендоваться: шатровский поп Михей... Чай, слыхивали про такого зверя?

— А... это ты, родитель? — отозвался Лекандра из-за кустов. — Купаться вышел?

— Да, немного нужно освежить свою грешную плоть...

Грешная плоть о. Михея представляла нечто совершенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высокая фигура была необыкновенно развита в ширину, так что спина была выгнута совсем желобом,

как у закормленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикейного подрясника, точно там были нарывы. Круглое обрюзгшее лицо было серого геморроидального цвета; около небольшого носа луковицей, как в масле, плавали два узких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли тощей бородкой. Из-под панамы выбивались две крошечных косички.

Заметив мой пристальный взгляд, о. Михей с неизменной добродушной улыбкой проговорил:

— Угадайте-ка, сколько мне лет?.. Нет, не угадать. Шестьдесят лет дней странствия моего в юдоли плача, а еще, кажется, ничего...

В подтверждение своих слов о. Михей молодцевато повернул сначала один бок, потом другой. После этой выходки он опустился на травку рядом со мной и заговорил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— Вот что, батенька, вы завертывайте ко мне чайку напиться... У нас попросту, без чинов. Мой нигилист вас проведет. Познакомились с ним? Ха-ха... Парень ничего, только

немного дыра в голове... Так отсюда прямо ко мне. Я уж послал за Павлом Иванычем.

Я поблагодарил за приглашение и попробовал было отказаться под предлогом раннего утра.

— Да у нас город, что ли? У меня старуха давно уж скрипит по всему дому... Слышите, заходите. Покалякаем, побалагурим, а ежели меня рассердите — хуже будет.

— Мы действительно отправимтесь к родителю, — говорил учитель, появляясь из-за кустов.

— А... нигилист, будущий Анкин муж, — встретил сына о. Михей и, обращаясь ко мне, проговорил: — Вот рассудите нас: один сын у меня доктором (о. Михей степенно отогнул на шуйце указательный палец, пухлый, как у новорожденного), второй — товарищ прокурора (о. Михей отогнул средний палец), три сына довершают свое образование в университете, а шестой сынок вздумал в податное состояние обратиться... А-а, вот тебя, дружище, и нужно! — закричал зычно о. Михей, завидев поспешно приближавшегося Сарафанова. — Иди, иди сюда, мы дадим тебе суд и распра-

ву... На кого ты меня променял, Павел Иваныч? Не ожидал я от тебя этого, нет, не ожидал!..

— Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они, — оправдывался Сарафанов, указывая на меня. — Уж я знал, что мне попадет за это... Повинную голову и меч не сечет, отец Михей!

— Хорошо, хорошо: у Федорки везде отговорки, — добродушно гудел о. Михей, подхватывая Сарафанова под руку. — Пойдем купаться. Мне одному скучно... А слышал, мой-то нигилист женится...

— Хаотический человек, отец Михей, — проговорил Сарафанов, разводя руками. — Чистая грация!.. А только купаться не пойду, отец Михей: натура у меня не принимает. Я лучше на бережке посижу.

— Нет, вре-ошь, Павел Иваныч! — увлекая Сарафанова, гудел о. Михей. — Ты уж меня раз надул...

— Наивно вам говорю: ревматизм в ногах...

— Шалишь.

Пикейный подрясник и панама о. Михея

скрылись за кустами. Мы с Лекандрой побрели к избушке о. Михея, которая стояла как раз против церкви и так приветливо издали глядела своими небольшими окошечками с белыми ставешками. Это был прелестный сельский домик с низкой зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким песочком и делился на части изгородями. В этих загородках бродило несколько лошадей, помесь кровных киргизов с заводскими. Отец Михей был великий любитель и знаток лошадей; его конский завод пользовался большой известностью. В глубине двора виднелись целый ряд конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. Вид домика со двора был еще лучше, потому что он низенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье голенастых кохинхинских куриц, бродивших по двору под предводительством горластого рыжего петуха. Из окна кухни выставлялась голова сотника Рассказа, который дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным оком.

— Рассказ — отличный наездник, — объяс-

нял Лекандра, — всех лошадей выезжает у родителя. А вон и мамынька чаи разводит...

На террасе, около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью и уставленного чашками и печеньями на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась небольшого роста дама с папироской в зубах. При нашем приближении она прищурила серые выцветшие глаза. Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на плечах и шелковая сетка на голове показывали, что матушка не хотела быть деревенской попадьей и держала себя на городскую ногу. До этого времени мне ни разу не случалось видеть матушек с папиросами, и я с удивлением посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшейся дамы.

— Вот гостя привел, мамынька, — рекомендовал меня Лекандра. — А, да тут целый капитан еще сидит... Наше вам, Гордей Федорыч!

— Здравствуйте, господин нигилист, — отозвался сгорбленный, седенький старичок в кителе.

Я только теперь мог рассмотреть его съежившуюся фигурку из-за большого томпако-

вого самовара, сильно походившего на о. Михея по своей тучности.

— Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня матушка.

— Отдохнуть...

— И хорошо сделали: у нас вон какие отличные места... Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раздобрел. У нас здесь воздух очень хорош.

Мне оставалось только согласиться, потому что уж какого же еще можно было ожидать воздуха, когда о. Михей из соломинки мог превратиться в настоящий свой вид. По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось представить себе о. Михея, когда он только что кончил курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бровями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом и сыром месте и теперь вы-

нули его проветриться.

— А что ваша Тонечка? — спрашивала матушка, подавая капитану стакан крепкого чаю. — Я что-то давненько ее не видала...

— Нездоровится ей, нездоровится, Калерия Валерьяновна, — отозвался капитан, шамкая и пришепетывая. — Девичье дело, девичье... Хе-хе. Не побережется, не побережется, а теперь жалуется... жалуется, что голова болит... Молодость!.. Да!..

Самый голос у капитана был какой-то выцветший, с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое дерево. Лекандра низко наклонил свое розовое лицо над самым стаканом и, кажется, был исключительно занят процессом глотания душистого напитка. Мне показалось, что Лекандра с намерением избегал встречи с прищуренными глазками своей «мамыньки» и как-то странно поднял кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила о Тонечке.

— Мир вам, и мы к вам, — загудел о. Михей, вваливаясь на террасу. — Посмотрите, как я выкупал Павла Иваныча. Ха-ха! Вот тебе и ревматизм...

— Чуть не утопили-с, ей-богу! Наивно вам говорю, — уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха. — Ах, Калерия Валерьяновна... Здравствуйте!.. Сократите, пожалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того... уж захлебываться стал.

— Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь! — проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, как детская фарфоровая куколка.

— Пошутил... Эка важность! Он меня тоже надул: на Шептуна променял. И следовало утопить, только до другого раза оставил.

— А... старичку, Гордею Федорычу, наше почтение! — говорил Сарафанов. — А я, право, даже не заметил вас с первого раза... Хе-хе!..

— Да где его заметишь... Ишь, какой карманный образ ему природа-то дала! — добродушно басил о. Михей, пока Сарафанов держал в своей лапище сухую, желтую ручку капитана.

Лицо о. Михея было теперь мертвенно бледно и скоро покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом стакан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-нибудь средства против геморроя?.. Совсем замучил, проклятый!

— Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем... — жеманно вступилась матушка, как-то забавно встрепенувшись своими коротенькими ручками. — Ты всегда...

— Что всегда: что есть, то и говорю!.. У кого что болит...

— Пожалуйста, перестань... Вон Тонечка идет... Ах, здравствуйте, Тонечка, легки на помине, — мы только что о вас сейчас говорили...

Тонечка была белокурая, грациозная девушка лет восемнадцати. Ее небольшое правильное лицо, с большими умными темными глазами, было красиво оттенено широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на отогнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивавшими синими жилками, выгнув свою широкую спину, как это делают бильярдные

игроки. Ситцевое простенькое платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и целомудренно собралось около ее белой шейки широкой розеткой.

— А я пришла к вам, Калерия Валерьяновна, за хиной, — проговорила девушка.

— И вы верите в эту латынскую кухню, Антонина Гордеевна? — вступился о. Михей.

— А то как же? Против лихорадки отлично помогает...

— Пустяки! Это только так кажется. Вот у меня...

— Ах, отец Михей, пожалуйста! — взмолилась матушка.

— Ну, ну, не буду. Я пошутил... Ха-ха!.. Спроси вон у капитана, он испытал. Как заберет, — места не найдешь... Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Иванычем относительно цивилизации побеседуем.

Тонечка просидела недолго. Она все время потирала свои маленькие ручки, как это делают с холоду, и ежила худенькими плечиками. Лекандра несколько раз с улыбкой посматривал на девушку и, наконец, проговорил про себя:

— Нервы...

— Вы этим что хотите сказать? — смело спросила Тонечка.

— А то и хочу сказать, что у всех барынь одна болезнь: нервы. Глаза этак закатит (Лекандра изобразил, как барыни закатывают глаза): «Ах, у меня нервы»...

— Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его, — вступился опять о. Михей. — Я вам дам отличный совет: ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца... Вот я, — я был хуже вас!.. А теперь, кажется, слава богу, только вот... Ну, да это вас не касается. А вы слышали нашу последнюю новость: Никандр Михеич женятся. Да-с. И знаете, на ком?

— На даме женюсь, — отозвался Лекандра. — Она будет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду кормить.

— Нет, в самом деле женится... На работнице Шептуна. Может быть, видали?

Все засмеялись. Сарафанов дергал капитана за рукав и рассыпался своим дребезжащим, нерешительным смехом, откидывая голову назад. По лицу капитана проползло что-то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа

покрылась мельчайшими морщинками и зашевелились под желтыми усами синие губы.

— Уж только и отец Михей, — умиленно шептал Сарафанов, — слово скажут — одна грация...

Девушка вопросительно вскинула свои темно-серые глаза на Лекандру и улыбнулась болезненной, умной улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шажками.

— Вы не смотрите на него, что он карманный, — говорил о. Михей, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим перстом в высохшую грудь, — у него в голове-то такие узоры наведены, что нам и во сне не снилось.

— Какие там узоры, какие узоры, — шептал капитан, отмахиваясь от слов о. Михея, как от комаров.

— Вы спросите-ка Шептуна... Будут они помнить Гордея Федорыча.

— Чего помнить... нечего помнить. Дело полюбовное, по закону дело... Все по закону.

— Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. Видите ли, капитану, до освобождения крестьян, принадлежала половина Шатрова. Хорошо... Когда стали составлять устав-

ную грамоту[166], капитан и уговорил своих бывших крестьян принять от него даровой надел[167] по осьмине на душу. Те с большого-то ума и согласись. А теперь у капитана же и должны арендовать землю по десяти рубликов за десятинку... Как это вам понравится? У нас землю-то продают по семи рублей за десятину.

— Зачем же они арендуют землю у Гордея Федорыча, если могут купить в собственность дешевле? — спрашивал я.

— Вот тут-то и есть корень вещей: земли-то покупные далеко, надо переселяться на них, а капитанова земля под боком. У капитана всякое лыко идет в строку: он за выгоны берет отдельно, за потравы отдельно, за лес отдельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник! Видели лес? Это все капитанов лес: мы ему за каждую жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? Ха-ха... Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать; стоит здание, понимаете, одно здание — и больше ничего, а капитан ежегодно двадцать тысяч себе в карман да в карман. Вот как добрые люди живут, а не то, что мы грешные: по

грошикам да по копеечкам.

Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся пред гением капитана.

— Я не принуждаю никого, не принуждаю... По добровольному соглашению, да, соглашению, — говорил капитан, совсем исчезая в облаках дыма.

— Хорошо соглашение, — ворчал учитель. — Тысячу человек пустил по миру, — вот и все соглашение.

— Что же я, по-вашему, по-вашему, фаланстерии буду устраивать на своей земле? — спрашивал капитан.

Глава 5

Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задыхался под веяниями времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечта-

ми. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину: современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты.

Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня — это химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, спешная работа. Центр тяжести, искусственно привязанный нашей историей к жизни городов, сам собой переместился в деревню.

— Ну, что, Америку открываете? — спрашивал меня о. Михей каждый раз, когда мы встречались. — Не-ет, батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать в пото-

лок. Перестраиваемся, голубчик, перестраиваемся... Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иваныч ведь правду врет про самовары-то да цивилизацию. Умственный мужик пошел. Все сам хочет знать: как и что на свете делается. Газеты выписывает... Да и кулаки эти уж просвещают их на все бока: поневоле задумаешься.

Отец Михей был начитанный человек и следил за журналами. Голова у него была крепкая, только на все кругом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. И, главное, все ему смешно. Где он набрался этого добродушия — бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было то, что он и на себя смотрел тоже как-то со стороны, с подковыром.

— Вы возьмите-ка нашего брата, попов, — ораторствовал он, похаживая по комнате такими шагами, что половицы только гнулись и поскрипывали. — Прежде поп был притча во языцех, последняя спица в колеснице, а нынче и мы себе цену узнали, и мужика простецом считали, а вы пощупайте-ка хоть Шептуна!.. Это, батенька, министр...

Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, вероятно потому, что трудно было подыскать двух таких противоположных людей. Шептун был крепкий старик и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит слово даром, и все у него выходило как-то особенно складно. Находчивость в ответах, живость, убийственная острота — вот чем он брал, и часто нужно было много подумать, чтобы добраться до истинного значения его речей. Главным образом, он в совершенстве владел искусством запутывать свою мысль, как заяц путает свои следы. Сравнения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посинелых губ. «Шептун сказал», — говорили часто вместо ответа, или: «Спроси у Шептуна, он те скажет».

— Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?

— Это от антиллерии-то? А ничего, милый, капитаном мы довольны... Бога за него благодарим. Да. Капитан у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему не сделать, а славный поп. Вишь, как ему весело... В

соху бы запречь, так, пожалуй, смеху-то убыло бы.

Рассказ был увлекающаяся, поэтическая натура, растворявшаяся в настоящем. Все, что он ни делал, было результатом порывистого желания немедленно осуществить свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна и часто выслушивал от него очень горькие истины относительно своего бесшабашного житья. К людям он относился доверчиво и с первого разу любил или ненавидел. Вообще рядом с Шептуном это был настоящий ребенок. Поэтическая точка воззрения на весь мир заслоняла пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал неудачи и оскорбления и постоянно нуждался в руководителе.

Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ выйдут вечерком за ворота и, сидя на завалинке, калякают между собой.

— Ну, чего ты слоны-то продаешь?! — корит Шептун своего благоприятеля. — Выез-

дишь ты пятерых жеребцов у попа, а он тебе двугривенный в зубы... Эх ты, рухлядь!

— Ты умен, — пробует иронизировать Рассказ.

— С твое-то будет ума... Не пойду к полу за двугривенный-то лоб парить да вертеться, как бес перед заутреней.

— Ладно, рассказывай. Знаем... Тоже вот тогда, как от антиллерии-то...

Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, потому что капитан был единственное слабое место, в которое можно было уязвить Шептуна. При составлении уставной грамоты Шептун один из первых поддался на удочку капитану и теперь нес на себе кару за этот промах. Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго не мог себе представить.

— Што капитан? Ну, што ты говоришь мне: капитан? Разве я у него был в те поры на уме? Чужая душа — потемки, известное дело. Да кабы знатье... то есть вот пополам перекусить его, прохиря[168], и весь разговор!

— Намеднись я иду мимо Прошкина кабака, — уже спокойно продолжает Рассказ, со-

вершенно довольный, что уязвил Шептуна. — Попадаются моховики...[169] Трудно этак идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гущин, Естюшка... Ну, идут, калякают промежду себя, а на дворе уж темнается. Я эдак маненичко притулился за угол и думаю: пусть, мол, пройдут своей дорогой. По разговору, значит, слышу, что они маненько тово, заложили за ухо-то... Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз в загривок накладут. Стою эдаким манером за углом и слушаю. «Этих бы сивых чертей, — говорит Естюшка, — взять, говорит, за бороды да оземь, потому самому, што они нас на веки вечные времена в раззор привели...» Это, выходит, они про нас так-ту разговоры разговаривают. А Микешка Гущин на это: «Тут дело не просто; подкупил их тогда этот самый капитан либо напоил, вот они и продали... Осьмуху-то немного укусишь! Вон у шаблинских али у болтинских — все по-божескому сделано. Только мы не в людях люди! Надо, слышь, этих стариков стряхануть когда ни на есть: сии заварили кашу, они и расхлебывай?»

— Ах, псы эдакие! — ругается Шептун. —

По заугольям-то их много, а доведись до дела — так и нет никого... Естюшка и то было раз сцапал меня за бороду в кабаке у Прошки.

— Н-но!

— Верно. «Ты, говорит, такой-сякой, нас по миру пустил». Ей-богу! Тогда чуть меня отняли... Парень могутный, поднесет раз — и дух вон. Кабы помоложе был, я бы ему завязал язык-от. Тогда на сходе учали муторить — што не што до поленьев дело не дошло.

— А ты слышал, что посредственник к нам едет?

— Это насчет кого?

— Кулумбаевских да ирнабаевских башкир будут межевать. Верно тебе говорю. Поп Михей сказывал.

— Врет, поди?

— Чего ему врать. Сказано: едет, — значит, взаболь едет.[170]

— Лонись тоже приезжал посредственник-то, да што из этого толку вышло?[171]

— А ежели у него бумага вышла из Питенбурха? Соберет сход, бумагу заставит читать — тут, парень, слушай. Михей сказывает, кулумбаевским плохо придется: замежуют

их. К заводам всю землю отведут, потому у них бумага.

Так сидят старики и балагурят. Невеселые разговоры у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. Капитан, действительно пустил с сумой половину Шатрова. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках капитана, по выражению Шептуна, «все одно как рыба в неводу». Нищенский даровой надел приходился им теперь солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял на неслыханную высоту и, кроме того, измором морил на каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля спасала их еще от конечного разорения, а впереди предвиделось самое худшее. С нарастанием населения на душу приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, которых о. Михей называл умственными, не давали старикам проходу за даровой надел.

Глава 6

Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда заходил к Лекандре, в его хутор. Этот хутор был верстах в пяти от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли у Ле-

кандры было десятин восемь. Теперь она представляла волнистый ковер доспевавшей пшеницы, ржи и овса. Небольшая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее порога открывался чудный вид на реку Шатровку, красивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поемных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправильными кучками изб деревушки Моховая, Болтина, Шаблино и т. д. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все эти бревенчатые избы точно были насыпаны какой-то исполинской рукой по речному берегу или сейчас только, как стадо утят, выползли из воды и греются в лучах летнего солнышка. Эту картину портило только полное отсутствие садиков и деревьев: хоть бы одно дерево на все это громадное пространство, которое охватывал глаз. Приятным исключением на этой оголенной равнине, когда-то славившейся дремучими сосновыми борами, была красивая капитанская роща. Она была разбита на несколько участков, и в ней велось правильное лесное хозяйство.

Изба Лекандры была устроена как все русские избы и состояла всего из одной комнаты,

половину которой занимала громадная русская печь. Простой стол, деревянные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. Обед готовил себе Лекандра на керосиновой кухне, а хлеб привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено небольшое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие принадлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак оберегала хуторок вместе с глухим стариком, который попеременно спал то на печи, то на завалинке. По вечерам часто приезжал сюда о. Михей напиться чайку на «благорастворенных воздусях» или забродил с охоты Сарафанов.

— Зачем же у вас еще квартира у Шептуна? — спрашивал я Лекандру.

— А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко, да и так, мало ли.

Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, отчасти из подмигивания о. Михея, отчасти по тяжелым вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, мешавшую Лекандре окончательно упро-

ститься, как это сделал Африкан Неопалимов. «Где женщина?» — спрашивал какой-то французский адвокат в каждом процессе; мои догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. Были некоторые, правда, очень слабые, но все-таки заметные признаки существования такой женщины. В избушке Лекандры мне несколько раз попадались на глаза полевые цветы, искусной рукой собранные в маленькие букеты, пуговка от дамской ботинки и даже целая фильдекосовая перчатка. Это была совсем маленькая перчатка, почти с детской руки. Если присутствие цветов можно было объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок и перчатки решительно нечем было объяснить.

Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу я направился к избушке Лекандры. Я брел по заросшей меже, между стенами пшеницы, которая стояла тын-тыном и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой пахучей струей, разбегался по нивам лоснившейся, как переливы атласа, волной и весело гудел в капи-

танском лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и любопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал коростель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют эти солнечные лучи, это дыхание матери-земли, эта кипучая жизнь, разлитая в воздухе, на земле и в земле. Каждая былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше других втянуть в себя первую капельку дождя, солнечную теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, которая издали казалась бархатным ковром, — какая кипучая жизнь совершалась в ней!

Мне оставалось сделать до избушки Лекандры шагов двести. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что бросилось мне в глаза, было белое платье... Да, настоящее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. Но что она могла делать у Лекандры? Я искал глазами капитана, но его не было. Итак, мне приходилось сделаться невольным

свидетелем и разрушителем tete-a-tete. Воротиться назад я не мог, потому что Лекандра уже заметил меня.

— А... здравствуйте, — как сквозь сон протянула девушка, подавая мне свою крошечную ручку.

Тонечку нисколько не смутило мое неожиданное появление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснениям того обстоятельства, как попала она сюда. Лекандра был с ней груб и суров сегодня особенно. Меня это удивляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добродушием. Из разговора оказалось, что девушка была помощницей в школе Лекандры. Это было для меня новостью.

— Вас, кажется, это удивляет? — спрашивала девушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Да, отчасти...

— Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в первый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей учителя в Шатрове *дама*, то есть известная комбинация оборок, бантов и... нервов. Да?

Тонечка громко смеялась своей шутке, а Лекандра кусал губы и смотрел куда-то в сторону.

Мы очень весело провели несколько часов в обществе этой девушки, присутствие которой было именно тем, чего недоставало избушке Лекандры. Учитель вынес на траву свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить чай своими белыми детскими ручками.

— И вы пьете из этой гадости? — спрашивала она, заглядывая с ужасом в глубину медного проржавевшего чайника. — Вы когда-нибудь отравитесь...

— Нас не скоро отравишь, — грубил Лекандра. — Это если...

— Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно наговорили мне грубостей, — прервала учителя Тонечка, напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни. — Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас перчатку? — обратилась она к Лекандре. — Ручка у чайника расколота, жжет голую руку...

Лекандра был уничтожен и растерялся, как пойманный школьник. Но девушка, ка-

жется, ничего не хотела замечать и все время держала себя непринужденно и просто, как сестра. Причина, мешавшая Лекандре окончательно упроститься, была теперь налицо и, право, была так мила и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никакого основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгорелось слабым румянцем, и на щеках, когда она смеялась, забавно дрожали маленькие ямочки. В темно-серых глазах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка, с легкими, грациозными движениями, была сегодня необыкновенно хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сложенную ногу в крошечном прюнелевом ботинке.

— Я, кажется, сегодня очень много наглупила, — с милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои белокурые волосы шляпу. — Отчего вы не забредете к нам как-нибудь? — обратилась ко мне девушка, протягивая на прощанье руку.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и обещал воспользоваться им при первом удобном случае.

— А вас не смею приглашать, — с улыбкой

проговорила Тонечка, поворачивая свою головку к Лекандре. — Вы ведь тоже не приглашаете меня...

— Как не приглашаю: ходите почаще мимо-то, без вас веселее, — отрезал Лекандра, окидывая «оборки» Тонечки уничтожающим взглядом.

Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыбкой проговорила:

— Нет, уж вы, пожалуйста, останьтесь при одном вашем намерении... Я настолько ценю его, что освобождаю вас от скучной обязанности тащиться с дамой по такому жару. Я привыкла везде ходить одна.

Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже и казалась издали с своим распущенным зонтиком каким-то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. Лекандра лежал на траве, что его приводило в некоторое созерцательное настроение, в котором он мог оставаться в одной позе по нескольку часов. Солнце палило. Не слышно было щебетанья птиц, которые теперь сладко дремали в пахучей тени капитанского леса.

Над полями раскаленный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали изредка вставали над нивами легкие желтые облачка и долго тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила проселочная дорога, по которой проезжали крестьянские телеги.

— А что этот капитан? — спрашивал я, чтобы хоть чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Лекандры.

— Скотина!

— То есть?

— Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги посылает в Петербург сынку-гусару.

— А что, эта Тонечка, должно быть, умная девушка? — опрашивал я Лекандру, впадавшего опять в летаргию.

— Ничего... порядочная дура. С моей мамынькой ей ладно бобы-то разводить. И за каким лешим сюда таскается?!..

Лекандра окончательно «замкнулся в свое я», как выражаются семинарские записки по философии. Разговорчивость и мрачное настроение находили на него полосой, ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько времени в безмолвии, Лекандра вдруг расхо-

хотался.

— Над чем вы смеетесь?

— Как над чем? Да вы разве не замечаете, что любезная мамынька задалась целью женить меня непременно на Тонечке. Ха-ха!.. Вот вышла бы примерная пара!.. Хоть сейчас картину рисуй: зять капитана от артиллерии. Ох-хо-хо-о!..

— Не знаю, по-моему, это не так смешно...

— Да? Отчего же... у всякого барона своя фантазия. Только, по-моему, жениться на Тонечке, это — завести себе лазарет по конец жизни: смотреть на нее, как на красивую куколку — это еще я могу понимать, но представить ее во образе дражайшей половины... Только недостает, чтобы она начала курить папиросы, как моя родительница...

— А все-таки, Тонечка нравится вам?

— Пожалуй... Некоторое время даже питал к ней душевное и сердечное расслабление, а теперь ничего, прошло.

— Упрощаетесь?

— Да, упрощаюсь. Вы подумайте: я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней

буду делать? Смотреть? Нет, уж боже избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде женщины.

— Бабы?

— Да, если хотите: бабы. Совершенно верно. Ведь нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и порты починить, а тут одни перья да банты.

— Тонечка в школе занимается, получает жалованье, следовательно, она может себя заменить другими руками.

— Ну да... конечно, можно и заменить. Только опять это совершенно особенная музыка... Ну, да не стоит говорить о пустяках. Вон посмотрите, никак цивилизация к нам катит... Да, она самая. Рассказ приклеился к новому дельцу, — вон волокет какой кузов. Ах, проказники, проказники!

— Вы про какое новое дельце говорите?

— А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал в Шатрово.

Я слышал от Павла Иваныча о «дельце», которое у него было в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. Раза два Сарафа-

нов пытался вытащить меня на охоту в болото, но я откладывал это удовольствие под предлогом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.

Глава 7

Сарафанов шел, с перекинутой за плечами двухстволкой, своим твердым, развалистым шагом, точно возвращался с прогулки, а не после двенадцатичасовой охоты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел ходить на задних лапах. Лягашик, прихрамывая, плелся назади. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных коробков. Все лицо у него было покрыто потом и волосы на лбу прилипали к коже мокрыми прядями.

— Одначе здорово парит, — проговорил Сарафанов, прислоняя ружье к углу избы.

— Что, устал, Павел Иваныч? — спрашивал Лекандра.

— Нет, не устал... Только поясница немножко тово... Должно быть, к ненастью ноет.

— А чаишку хочешь пошвыркать?

— Ежели такая ваша милость будет... А где у меня Личарда?

Рассказ растянулся в избе и не подавал голоса. Он успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь едва дышал, закрыв единственное око.

— Какое у тебя дельце, Павел Иванович? — спрашивал я, пока Лекандра хлопотал около своей кухни.

— Дельце? А вот... — Он развязал один из коробков и достал несколько жестяных банок из-под монпансье. Крышки банок были плотно припаяны к стенкам. — Вот, изволите видеть, банка, а в этой банке двенадцать дупелей... Сто лет пролежат и хоть бы что!

— Консервы!

— Да, вроде как консервы, только получше.

— Как вы их приготовляете?

— А вот как: выберем болото, Личарда разведет на берегу огонь, приготовит паяльник, коробки и всякое прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупельков... Только успевай мигать. Десяток в полчаса погублю и сейчас их к Личарде. Он их ощиплет, сложит

в коробки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. Вот и готово-с. А у меня уж опять десяток готов... Наивно вам говорю. Этого дупеля по здешним местам видимо-невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из болота.

— Куда же вы потом с этими консервами?

— Как куда: продавать... Помилуйте, да с руками оторвут, если на охотника. Первый отец Михей, — ну, ему, конечно, я даром презентую, — капитан, становой, доктор... Всем будет любопытно. Вы заметьте — это будет вроде только объявления: один попробует, пятерых угостит да десятку похвалит. Вот у меня целых пятнадцать заказчиков. Если считать за банку, значит за десяток дупелей, — ну, рубль — и то составит пять рубликов я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с... Это я только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом займусь. Тысячу банок приготовлю в лето!.. Это у меня в кармане останется семьсот рубликов. А если буду посылать в Петербург да в Москву — это опять другой разговор пойдет.

— Вы, кажется, посылали уж маринован-

ных рябчиков?

— Ах, то опять особь статья. Там меня в одном магазине подвели: послал им на пробу несколько банок, высылают требование на целую сотню. Послал сотню... Они, черти, эту сотню слопали или продали, а денег не выслали. Наивно вам говорю: хаос! Теперь уж не проведут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объявление такое прочитал.

Чай был готов, и мы напились с Лекандрой во второй раз, ибо пар костей не ломит.

— Ты, Павел Иваныч, компанию на акциях устрой лучше, — советовал Лекандра, — вот как железные дороги строят... Слыхал?

— Как не слыхать: и мы не левой ногой сморкаемся. Хе-хе!.. Только ведь это я так, между делами: и удовольствие получишь, и сам не в убытке.

— Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь?

— А то как же: волка ноги кормят. И еще какое дельце-то: каламбур, пальчики оближешь.

— Именно?

Сарафанов огляделся по сторонам и загово-

рил вполголоса, точно боялся, что его может подслушать даже трава.

— Третьева дни иду это я по Шатрову от капитана, — чай у них пил, как вот сейчас с вами, — иду, а навстречу едет башкир из Кулумбаевки, Урмугуз. «А, знаком, селям малику»... Ну, то-се, разговорились...

— Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнабаевских и кулумбаевских башкир с Локтевскими заводами?

— Даже всенепременно-с... Послезавтра поеду с Рассказом в Кулумбаевку, а потом в Ирнабаевку. По пути возьмем Иртяшское болото, — слыхали? В ширину семь верст да в длину двенадцать... Тут настоящий момент дупелей!

— Какое это дело у башкир с заводами? — спрашивал я.

— Один хаос и больше ничего! Наивно вам говорю: хаос, — отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блюдечка. — Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер сто лет назад. Так-с. После его смерти его супруга в тысяча семьсот девяносто втором году предъявляет в

земский суд купчую крепость, будто бы написанную еще в тысяча семьсот семьдесят шестом году. А по этой купчей кулумбаевские башкиры продали заводам двадцать тысяч десятин. Понимаете? Почему же сам Бухвостов не явил эту купчую и не просил о вводе во владение?.. Это раз. Второе: прошло шестнадцать лет, значит, земская давность. Третье: часть якобы проданных кулумбаевскими башкирами земель принадлежит ирнабаевским. Все-таки, несмотря на все это, земский суд утвердил эту купчую.

— Да ведь туг надо знать все законы, как пять пальцев, — говорил Лекандра.

— Хорошо-с, дойдем и до законов. Подождите. Через десять лет, значит в тысяча восемьсот втором году, приезжает для проверки межей правительственный землемер. Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в оренбургскую межевую контору, что по спорным землям устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора посылает другого землемера: башкиры ему жалобу, а он их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер; только этот совсем не стал разгова-

ривать с азиятами, а взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли да, кроме того, внутри межи оставил целую деревню Ирнабаевку. Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъявила свою полюбовную сказку, дескать, так и так, обмежеванную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой, а что-де касается замежеванной деревни, так у нас есть условие, по которому ирнабаевские башкиры обязываются оставить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры объявили и полюбовную сказку и условие подложными.

Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав руку Лекандры, продолжал:

— Ну-с, таким манером дело это уж дошло до Гражданской палаты, которая признала, что Бухвостова владеет кулумбаевскими землями правильно, а ирнабаевскими неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели наследники. Хорошо. Они не унялись и пошли хлопотать дальше: жаль было, вишь, уступить ирнабаевские-то земли. В тысяча восемьсот пятьдесят шестом году это дело попало в московскую межевую канцелярию, кото-

рая и вырешила: замежеванные у ирнабаевских башкир две тысячи десятин оставить за заводами, а вместо них отмежевать у кулумбаевских башкир эти две тысячи десятин и передать их ирнабаевским.

— Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иваныч?

— По бумажке учил, как «верую». Ну-с, теперь рассуждение должно быть такое: во-первых, московская межевая канцелярия не имела права отводить заочно способные земли; потом, наследники в течение целых пятнадцати лет не приводили его в исполнение, значит, оно опять потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое дельце и выплыло на днях: едет мировой посредник уговаривать ирнабаевских башкир уступить заводам эти две тысячи десятин. Вот я услыхал это от Урмугуза и спрашиваю, что они хотят делать. «А не будем, говорит, отдавать, и кончено». «Да ведь вас, говорю, азиятов этаких, засудят...»

— Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из присяжных поверенных или опытных адвокатов?

— Обращались, голубчик, не один, не два раза: адвокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. Потому одно слово: азияты. Всякий ладит с них сорвать, что можно. Не любят, где плохо лежит. Да-с.

— И ты туда же?

— Ах, господи, господи! Ведь я не обязан даром за них хлопотать... Все мы хлеб едим!

— Смотри, Павел Иваныч, тово...

— Чего тово...

— А понимаете: возьмут этак за хвост да в окошко.

— Ну, это еще старуха-то надвое сказала. Это еще мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед богом... Ах, господи, неужели уж и суда праведного не найдем?!.. Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса кому следует, ну, и пусть их. Мы пойдем напрямик.

— Где ваше не пропадало!

— Хоть бы и так... Я даже пострадать готов. Наивно вам говорю.

Сарафанов действительно, по своему обыкновению, горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне нужно было проби-

раться уже восвояси, хотя было немного и жаль расставаться с Шатровым.

— Мне Тонечка говорила, что вы обещали зайти к ним, — проговорила однажды матушка, когда мы с Лекандрой ели у нее какие-то пирожки.

— Это еще что за китайские церемонии, — окрысился Лекандра, но потом стих и даже отправился вместе со мной к капитану. — Ведь вот, подумаешь, какова сила инерции, — резонировал он дорогой, стуча палкой по заборам, — спросите меня, зачем я иду...

— Ведь вы обещали, — уговаривал я.

— Что же из того, что обещал: велика важность!

Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок доброго старого времени: с мезонином, с какой-то колоннадой, с широким подъездом. Время изрядно поработало над этим произведением помещичьего вкуса, и везде проглядывала мерзость запустения: колонны покосились, крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами.

— По Сеньке и шапка, — говорил Лекандра, поднимаясь по шатавшимся ступенькам

развалившегося крыльца.

В пустой передней пахло сыростью, и на всем лежал толстый слой пыли. В гостиной нас встретил сам капитан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей трубкой в руках.

— А, господа, очень рад, очень рад... — прошамкал он, усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками и удивительно тоненькими ножками.

Гостиная представляла лавку старых вещей: мебель, картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение которых трудно было угадать, — все это точно было нарочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пастух и пастушка, вышитые по канве шелками; нос у пастуха походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят дрова. Скоро показалась Тонечка.

— Не ожидала от вас такой любезности, — чистосердечно и просто проговорила она.

— У нас редко кто бывает, — шамкал капитан. — Разве отец Михей когда заглянет.

Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил откуда-то заплесневевшие бутылки с

какими-то мудреными старинными винами, даже завел баульчик с музыкой — вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим гостям, то есть, вернее, своей Тонечке.

— Зачем вы тревожите так свой «восемнадцатый век»? — шутил учитель. Он сегодня, к моему удивлению, уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя старался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка и отломленная ручка у кресла.

— Ничего, это ему полезно, — отвечала Тонечка, кивая головой в сторону отца.

Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила, а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, чтобы учить девочек рукодельям. Когда вопрос зашел о профессиональных школах, она проговорила:

— У Никандра Михеича был отличный план относительно добавочных ремесленных классов... Не знаю, в каком положении он теперь.

— На точке замерзания, — отвечал Лекандра.

— Потом мы думали устроить образцовую ферму, — продолжала девушка уже во множественном числе, что немного передернуло учителя. — Только это еще в проекте...

— Образцовая ферма имеет для крестьян такое же значение, как школа плавания для щук, — сгрубил Лекандра.

Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания!.. Пожалуйста, не обращайте!» Он пускал густые облака дыма из своей трубки и по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, наводил ухо и с улыбкой говорил:

— Вот и отлично!..

Что было «отлично» — я никак не мог понять, только капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, что капитан способен был пустить по миру сотни людей. Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что его дочь весело го-

ворила и щебетала, как птичка. Этот громкий говор и смех представлял такой контраст со всей окружавшей нас обстановкой почтенной старины: сердитые генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки своим пастушк***а***м.

— Главное, что обидно, — ораторствовала Тонечка, — за какое вы дело ни возьметесь, вы встретите прежде всего глухой отпор даже со стороны людей, на которых, кажется, можно было рассчитывать. Потом, это отношение свысока ко всему, это желание... как бы вам сказать?.. желание быть маленьким оракулом.

— Если это в мой огород камни летят, то совершенно напрасно, — с улыбкой говорил Лекандра. — Все мы люди, все человеки...

— Ну, вот и всегда так: скажет человек жалкую фразу, и доволен.

Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей возражать. Видно было, что у ней давно что-то накипело на душе и теперь выливалось порывистыми горячими фразами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил

больше своего «отлично».

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете, — говорила мне Тонечка, когда вышла провожать нас в переднюю.

— В самом деле, останьтесь, — упрашивал капитан. — Ей-богу, останьтесь! Мы устроим отличное катанье на реке... Понимаете, этакая луна, звезды...

— Ай да «восемнадцатый век», как он разошелся сегодня, — говорил дорогой Леандра. — И ведь странная вещь, как это иногда случается... Просто, черт его знает!.. Этакое дворянское гнездо в некотором роде, и вдруг в нем вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на что, а в голове уж и вопросы разные и этакая чуткость... Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалборки да банты... А у меня в голове шумит. Этот «восемнадцатый век» нам подсунул чего-то самого анафемского...

На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками, о. Михей долго пожимал мою руку и самым добродушным образом говорил:

— А ведь, право, остались бы еще погостить... Ну вас там, с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки будем скоро пробовать...

Когда мой экипаж — простая деревенская телега — тронулся в путь, он еще раз остановил меня:

— Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газетах попадется этакое средствие от геморроя... Настрочите как-нибудь цидулочку! Просто, понимаете, как сядешь на диван или на стул... Хе-хе!.. Ну, прощайте. Дальние проводы, лишние слезы.

— Ну, омморошная! — крикнул Шептун, дергая вожжами. Он взялся отвезти меня до ближайшей станции.

Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в Кулумбаевку. Наша телега бойко покатилась по мягкой дороге, и Шатрово скоро осталось назади. Опять кругом потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной чешуей отливала на солнце река Шатровка.

— А это все пашни нашего змея, — проговорил Шептун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы.

— Какого змея?

— А от антиллерии-то...

Глава 8

Вернувшись в город, я несколько времени находился в самом странном расположении духа. Стараешься делать все так же, как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы войти в прежнюю колею, а нет-нет и унесешься мыслью в избушку Лекандры, в лес капитана. Несколько раз мне казалось, что в передней слышатся шаги о. Михея, но это было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в самых радужных красках. Так прошло месяца три. Начались осенние дожди, и наш N* потонул совсем в непролазной грязи, но все-таки осенью город несравненно лучше самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая всевозможные догадки относительно причин его исчезновения, я просто не знал, что думать о нем.

Проходил уже и сентябрь В воздухе изредка появлялись «белые комары», то есть снежинки. Добрые люди начинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах и дружбе.

Известно, что холод заставляет собираться в одну стаю даже и волков. Раз, сижу за самоваром и пробегаю большую столичную газету, как вдруг слышу в передней осторожное покашливание... Я даже вздрогнул: это был Сарафанов. Да, это был он...

— Здравствуйте!..

— Очень рад. Не хотите ли чаю?

— Даже с большим удовольствием.

Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели уныло и покорно. «Уж не схватил ли он куш?» — мелькнуло у меня в голове, но начать разговор прямо с этого было, конечно, неловко.

— Что вас давно не видать, Павел Иваныч?

— Как вам сказать...

— Да вы давно ли сюда-то приехали?

Павел Иваныч поднял брови и сказал:

— Я-с... я уж больше двух недель здесь.

— Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы?

— Нет, ничего...

— Да говорите толком, пожалуйста: ну, что

вас задержало?

— Я... я, видите ли, сидел в заключении.

Если бы раздался удар грома, — и то не удивило бы меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. Я даже не знал, о чем его спрашивать.

— Да-с, высидел две недельки... Наивно вам говорю!

— Да как вы туда попали?

— Привезли-с... Под конвоем привезли и подвергли заключению.

— А где же у вас лошадь? консервы? лягашик?

Сарафанов только махнул рукой и многозначительно улыбнулся, как это делают драматические актеры.

— Нужно вам рассказать это дело с самого начала, — заговорил он, вытирая лицо платком. — Ах да, была где-то вам записочка...

Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не понимал.

— Вам Тонечка посылала со мной писулечку, и Никандра Михеич... они, того, в законе-с... Да, благодарение создателю!..

— Этого можно было ожидать.

— По нынешним-то временам?!.. — При последних словах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь отталкивал от себя обеими руками. — Что вы!!.. Что вы!!.. Да нынче... Последние времена и хаос! Нынче не то что неопытную, невинную девушку, этакой бутончик вроде Тонечки, обмануть — это что: можно сказать, людей закаленных истязают и подвергают муке... Чистая грация!.. Неблагодарность и зверство!..

От волнения Сарафанов несколько времени не мог говорить. Мне было жаль старика.

— Я уж сначала вам расскажу, — заговорил он после небольшой паузы. — Помните, как я уехал тогда в Кулумбаевку с Рассказом? Хорошо. Приезжаем, а там уж все на ногах, и посредника ждут с часу на час. Хорошо. Поговорил я кое с кем; Урмугуз, Урукайка и другие — все в ногах валяются. «Павел Иваныч, заставь вечно бога молить и не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас замежует». «Хорошо, говорю, ребята, только, чур, делать по-моему. Согласны?» «Согласны, согласны...» Хорошо. «Первое дело, говорю, не подписывайте у по-

средника никакой бумаги». Ну, это я так, для острастки, потому они всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, значит. «Второе, говорю, если он вас будет приводить в соглашение или склонять на мировую сделку, скажите, что «подумаем». А там мы все разжуем и дадим ответ». Все согласны. Отлично. Приезжает посредник. И что же бы вы думали? Дворянин, получил высшее образование, человек с грацией вполне — и вдруг начинает склонять кулумбаевцев на мировую сделку с Локтевскими заводами... Да разве это честно? Он должен, как посредник, беспристрастно отнестись к делу и даже защитить башкир, потому темнота, хаос... Башкиры на дыбы, шум, гвалт, столарня!..

Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате.

— Так башкиры и не пошли на мировую, хоть ты что хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще он мину будет подводить. И действительно, подвел... Собрал сход и на сходе предлагает кулумбаевцам объявить ирнабаевцев припущенниками[172]. Башкиры-вотчинники имеют надел в трид-

цать десятин на душу, а припущенники всего пятнадцать. Вот посредник и говорит кулумбаевцам: «Объявите ирнабаевцев припущенниками, значит, с каждой души отойдет по пятнадцать десятин, мы из них выделим две тысячи десятин заводам, а остальная земля достанется вам». Понимаете? А на сходе целых пять волостей, — тут можно и крупы и муки намолоть. Посредник сейчас вытащил лист: «Подписывайтесь!» Ни одна живая душа не подошла... Хе-хе... Как бараны, так и пятятся, даром что азияты. Только посредник и этим не унялся, а вечером пошел по избам и давай стращать, что если-де не подпишут листа, то всех в остроге сгноят и землю отымут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им: «Врет посредник, ничего вам не будет, — закона такого нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку». Ведь правильно я рассуждал?.. Хорошо. А посреднику уж донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. Прихожу. «Вы кто такой? Поверенный от башкир Кулумбаевской волости... Ага, мы с вами еще увидимся. До свидания!..» Уехал. Я пожил денька два и то-

же поехал. Думаю про себя, нужно еще с отцом Михеем посоветоваться.

— Ну что, отец Михей здоров?

— Ничего, кланяется... Заложил Рассказ мою лошадку, — помните, киргиз, на левой лопатке тавро, одно ухо короткое; выехали мы этак к вечерку, чтобы по холодку-то доехать до иртяшского болота и взять там утро. Ружье у меня было с собой, лягашик тоже, коробки, припай, сало, — ну весь снаряд, как следует. Приехали, разбили стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стреноженная ходит в двух шагах, лягашик под телегой спит. Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот словно кто железной доской придавил: не могу пошевелить ни рукой, ни ногой... А тут сквозь сон и слышу, что лягашик как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там Рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве мешком и тащится. Я тоже сгребся за него, а он, извините меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвался... Так лошадь и угнали, а лягашик мой лежит кверху ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это угнал лошадь? Башки-

ры... кулумбаевские башкиры... Я за них поехал в город хлопотать, а они у меня лошадь украли. Это уж у них такая воровская замашка: вымажется салом, подползет, — только и видел. Ведь я его в руках держал, — нет, выкрутился, как живой налим.

— Что же вы и Рассказ стали делать?

— Что стали делать... — в раздумье повторял мои слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства дела. — Мы пешком пошли в Кулумбаевку и прямо к Урмугузу. Я вошел в избу, он дома. Рассказал ему, что так и так, — удивляется, азият, и чуть не плачет от жалости. А я знаю ихнюю натуру и попросил Рассказа пошарить по двору. Урмугуз начал и угощать меня маханиной, это значит, жареной кобылятиной, — мне это просто к сердцу пришло: думаю, да что это я дурака-то с азиятами разыгрываю, ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Урмугуза за его угощение поганое, Рассказ шасть в избу и тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая... Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол да ее же мясом меня и уго-

щает! Как это вам понравится? У них уж обычай такой: украдет у соседа лошадь, да ей же и угощает. Даже не сердятся... Ну, народец! Поругался я, поругался да с тем и уехал в Шатрово.

Мне было жаль Сарафанова, но эта история с «рысачком» заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам хохотал вместе со мной.

— Ведь чистый хаос вышел, — говорил он, вытирая слезы. — Чего с них, азиятов, возьмешь? У меня собака лучше живет, чем они. Наивно вам говорю... Натрескаются своего кумысу да маханины и спят всей деревней. Хоть трава не расти! А уж если украсть, — кожу с живого сдерут да тебе же ее продадут.

— Ну, а дальше?

— Дальше-то... Приезжаю это я в Шатрово, отец Михей чуть на руках не ходит: «Нигилист женится...» — «Да на ком?» — говорю. «Ах, говорит, какой ты непонятный человек: на Тонечке». Ну, я даже перекрестился, потому что, помните, какие слова Никандр Михеич выговорил касательно Анки.

— А что Шептун?

— Шепчет да Анку ругает. Ведь умный старичонко, а вот, поди ты, какую слабость в себе имеет. Да-с. Так вот-с мы этаким манером, честным пирком да и за свадебку. Отец Михей и меня не пустил. «Кожу, говорит, с тебя сниму, как башкиры с твоего киргиза... Освежую!» Большие шутники отец Михей. Ну, горе-то у меня свое, да и обидеть не хотелось — я и прохлаждаюсь на свадьбе. А нужно вам сказать, что Никандр Михеич очень грациозно сделали: «Никакого мне, говорит, вашего приданого, ни денег за женой, чтобы ни боже мой...» А капитану это и на руку: в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь-то родную, да еще какую дочь: и умненькая-то, и хорошенькая-то, и добренькая... Сюперфлю!.. Никандр-то Михеич хотел было и свадьбу сыграть по-нонешнему: обвенчаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то было, — отец Михей и думать не велел. Ну, хороводимся этаким манером на девишниках да на столованье, а тут мировой посредник со становым да с урядником — шасть на свадьбу. Отец Михей радехонек: ему бы только человеческое обличье было да пить мог —

вот и дорогой гость. Я сижу этак в уголке, а посредник, как увидал меня, сейчас становому: «Шу-шу-шу...» А я опять сижу да еще этак про себя думаю: «Видно, мол, солоно я тебе пришелся». Наивно вам говорю: сижу это и думаю... Потом, знаете, при всей честной компании взяли меня, раба божия, под ручки, — прямо меня в повозку. Отец Михей и капитан заступились было за меня: куда тебе — и приступу нет! Ну, думаю, пришло мое докончание; а все-таки я прав и готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, так и волокут в город. По деревне едешь — даже совестно, все пальцем указывают... Наивно вам говорю! И сижу я таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поношение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто нигилиста... Всякий, значит, свое мелет. А я жду только одного, скоро ли меня к прокурору... И что бы думали: отсидел я две недели, потом ведут меня к полицмейстеру... Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и говорит: «Ты у меня смотри, художник... Я тебе пропишу таких дупелей, что позабудешь дорогу к своей избушке, не то что к башкирам!»

Ну-с, вышел я... Значит, опять вольная птица. Дождичек этак моросит, где-то к обедням перезванивают, люди бегут по своим делам... И так мне это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот к вам и пришел...

— А консервы ваши где?

— Казачки скушали... Грация!

В горах

(Очерк из уральской жизни)

Глава 1

...Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов — и лес точно расступился передо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный[173] балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который

проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей»[174], заведенных в эту глушь жаждой легкой наживы и слепой верой в какое-то никому не известное счастье.

— Кто там, крещеный? — сердито окликнул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите переночевать, — отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнеич, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик

в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищурив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир, дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь...

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле

прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватою бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — растерянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновной, — забормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. — А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустился опять на

землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

— Я вам не помешаю? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, — отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. — Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

— Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

— Одначе здоровый крюк сделал! — проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.

— Ему бы надо было обогнуть Черный Лог,

а потом Писаный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, — отвечал старик.

— А отсюда до Момынихи сколько верст будет? — спросил я старика.

— Да как тебе сказать, чтобы не соврать... Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

— А как этот лог называется, где вы стараетесь?

— Да кто его знает, как он называется... — с видимой неохотой отвечал старик. — По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

— А ты, поди, есть хочешь, сердешный? — ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. — На-ка, вот, закуси, а то натощак спать плохо будешь... Не взыщи на угощеньи, — наше дело тоже странное[175]: что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

— Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! — умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся благодарить за этот ужин, раскольница опустила глаза и скромно сказала:

— Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, — не взыщи с нас. — Помолчав немного, она прибавила: — Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, — ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил ме-

ня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, — я согласился.

Глава 2

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном ме-

сте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько полен сразу, целый сноп искр взлетал кверху и об-

сыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и улыбался, Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел.

Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по

спине.

Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого — ноги, у третьего — туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутрен-

ним светом.

— Говорят, к нам на Старый завод нового станового пришлют, — говорил старик, глядя на огонь.

— Врут! — резко ответила Василиса Мироновна. — Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, — ему и шевелиться-то теперь лень...

— А больно он смешон попервоначалу-то был, — улыбаясь, говорил старик.

— Кто это?

— Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, — ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась — и шабаш: «Знать

не знаю, ведать не ведаю», — а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам — казаки, сотские, все, как следовает. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, — говорит Пальцев, — говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», — это он казакам своим, — ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, — говорит Пальцев, а сам смеется, — тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, — ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

— Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, — говорила Василиса Мироновна.

— Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой — так посеребрит,

что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станового ставил, — звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся — Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрит...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижу ни жив ни мертв. «Погоди, — говорит Пальцев, — мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, — знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сижу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хо-

чешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

— Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

— Это Федя-то Заверткин?

— Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, — пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на донышке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довезти, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! — кричит. — Где едем?» — «Так и так, ваше благородие...» — «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разе я, говорит, туда тебе велел ехать?» — «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» — «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» — а сам как запалит меня в загривок. У

меня так и заскребло на сердце, — обидел он меня, — так бы вот его взял да перекусил пополам... А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» — «Поворачивай назад в Махнево!» — кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке — так, совсем бросовая бабенка, — посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили — страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой — да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого заводу и пролежала... Ведь он у меня в те

поры порешил тройку-то, — прибавил рассказчик.

— Как порешил?

— Загнал всех лошадей начисто.

— Заплатил?

— Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной... И с ямщины согнал.

— Этакой пес! — ворчала Василиса Мироновна. — Хуже станового будет...

— В тыщу раз хуже: становой што? Становой — человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, — того гляди, убьет... Становой обнакновенно возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразиев я не видывал.

— Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, — вставил свое слово Калин Калиныч, хранивший все время молчание. — Как-то намеднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули... Ей-богу-с! И беспременно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, — ведь выпил-с!

— Кто выпил?

— Да я выпил-с, — с невозмутимой улыб-

кой отвечал Калин Калиныч. — И после этого ничего худого со мной не было, только очинно вспотел-с... Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы...

— Ишь ведь, гнус какой завелся! — сердито ворчала Василиса Мироновна.

— А вы это напрасно, Василиса Мироновна, — вступился Калин Калиныч. — Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

— Ах, Калин, Калин, — качая головой, строго говорила раскольница, — дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

— А вот и скажу, и всегда скажу! — с азартом протестовал Калин Калиныч. — Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота столкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч — другое: он — от души, для смеху. Они и стул вы-

дернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижаюсь! Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там — бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

— Ну, а дочь у тебя где, Калин?

— Дочь?.. Дочь на месте... Учительшей служит, — не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: — А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощеный день на масленой проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне — не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.

— А ведь она меня обидела как, — продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. — Сели мы в прощеный день обедать, она и давай меня донимать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит,

толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, — про себя говорит, — жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, — это она меня и себя уродами-то крестит, — а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас — и рост и детки, — от бога, мол, все это, а на бога приходить[176] грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, — во всей нашей прероде не было таких карахтеров.

— Нехорошо это, больно нехорошо, — говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.

— И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, — точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.

— А с дочерью-то помирился? — спрашивала раскольница.

— Помирился и проклятие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, — она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней — и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, ко-

гда дрова падали в костер.

— А что Аристарх Прохорыч? — спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

— У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

— И ты в свидетелях?

— И меня запутали, грех их бей!..

— Чего же ты показывать будешь?

— А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеднись приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

— А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

— Нет-с... Только этого не может быть, по-

тому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:

— Это все их адвокат мутит...

— Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

— А кто же, по-вашему, виноват?

— А по-моему — оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

Глава 3

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить

целую Одиссею, но меня лично интересовали не эти рассказы, а Василиса Мироновна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обыкновенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять — шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где водка, там, конечно, присутствуют и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неистощимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дря-

нью. Старик пробовал отказываться, но это было совершенно напрасно, — приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила непременное желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

— Да ты-то чего мнешься? Оставайся! — говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у Калина Калиныча.

— Я-с... я-с с моим удовольствием, — лепетал старик, — только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

— Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

— Это точно-с, только-с оно неловко-с.

— Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

— Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

— Да что с ним говорить попусту, — всту-

пился Заверткин. — Ты, Калин, говори уж прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. — Матрена Савишна, оно точно, будут сердиться, а я скажу: в гостях воля хозяйская... Хе-хе-хе!..

— Молодец, Калин Калиныч! — орали пьяные голоса. — Браво, Калин Калиныч! Будь же мужчиной, голубчик, а то ты совсем обабился.

Через час вся компания расположилась спать в той же комнате, где происходила «закуска». Калину Калинычу было отведено место где-то под столом; он уже разделся и готовился снимать сапоги.

— А ведь, Калин Калиныч, если рассудить это дело, так ты не совсем хорошо это делаешь, что остаешься спать здесь, — заговорил Пальцев. — Ты, ангел мой, не холостой чело-

век, а оставляешь дома жену одну. Она, ангел мой, будет о тебе думать, что ты бог знает куда забрался. Нехорошо, ангел мой!

Это было сигналом, и все разом начали уговаривать Калина Калиныча идти домой. Старик сначала недоверчиво смотрит на всех, но потом начинает быстро одеваться. Когда совсем одетый Калин Калиныч хочет прощаться, Гвоздев загораживает ему дорогу и говорит:

— Ну вот, какой ты бесхарактерный человек!.. Тебе сказали, что нехорошо в чужих людях спать, ты и поверил. Да ведь ты сказал, — значит, нужно оставаться. Вот у Федора Иваныча тоже есть жена, и у других, да ведь не бегут от хорошей компании. Ты просто срамишь меня.

Эта забавная сцена, в которой Калин Калиныч то начинал прощаться со всеми, чтобы идти домой, то снова раздевался и ложился на свое место, продолжалась слишком долго и, наконец, надоела всем, так что старика на время оставили в покое.

— А ведь ты, Калин Калиныч, боишься своей Матрены Савишны? — спрашивал кто-то в

темноте, когда уж все готовились заснуть.

Старик крепился и ничего не отвечал; но это не удовлетворяло гостей, которым хотелось еще потешиться над старым чудаком.

— А ведь признайся, ангел мой, она иногда лупцует тебя? — послышался голос Пальцева, вызвавший сдержанный смех публики. — Ведь ты, ангел мой, говорят, сильно боишься ее? Конечно, ангел мой, я этому не верю, но все-таки...

— Что же мне их бояться? — отозвался, наконец, старик, терпение которого прорвало. — Они не медведь...

— Э, да что тут пустяки говорить! — послышался голос Феди Заверткина, временно потерявшего сознание и теперь снова получившего способность выражаться членораздельными звуками. — Не-ет, бр-рат, нет!.. Ты нам р-расскажи, как жена тебя в подполье столкнула...

— Калин Калиныч, голубчик, расскажи! — послышались умоляющие голоса. Кто-то черкнул спичкой о стену, и зажгли свечу.

— Что же-с, дело самое обнакновенное-с, — заговорил Калин Калиныч, усаживаясь на

своем месте по-детски, скрестив под себя свои коротенькие ножки. — Вечером поужинали-с, как следывает-с, легли почивать-с и всякое прочее... Хе-хе-хе!

— Браво!.. Молодец, Калин Калиныч! — орала вся компания.

— Ну-с, лежим это мы на постели и начали промежду собой разговаривать-с, а Матрена Савишна возьми и рассердись... У них уж такой карахтер: как зачнут со мной разговаривать, так и сердятся-с... Я и говорю им: «Перестаньте, говорю, Матрена Савишна, гневаться, потому, говорю, первое дело, это грешно-с, а второе, говорю, я вам муж, говорю...» Так прямо и отрезал-с, ей-богу-с! Как ножом отрезал да еще прибавил: «Надо, мол, это самое дело оставить...» Только это слово я вымолвил им, они, можно сказать, из себя вышли и вступили в большой азарт... Да я рассказывал вам, господа, — взмолился было Калин Калиныч.

Но публика не хотела и слышать об отказе и, как говорится, пристала с ножом к горлу.

— Ну, вот-с, как Матрена Савишна вышли из себя и начали кричать, — продолжал ста-

рик: — «Так вот, говорит, какие ты поступки со мной поступаешь!» — да этак меня ногой маненечко как толканут, — ей-богу, маненечко! — я с постели и опрокинулся на пол, а голбец был открыт, — я туда... Так вниз головой и сверзился, а все сам виноват — со страху-с!.. А Матрена Савишна — добрейшая женщина, ей-богу-с!

Снова все хохотали, — хохотали нехорошим, пьяным хохотом. Вместе с другими смеялся и Калин Калиныч своим детски добродушным смехом, от которого забавно вздрагивали его полные, румяные щеки и колыхался круглый живот.

— Так ты, ангел мой, прямо в голбец, турманом?.. О-хо-хо! Уморил, ангел мой! — заливался Пальцев, схватившись за бока.

— Она нарочно и голбец отворила, чтобы столкнуть тебя туда, — уверял Заверткин.

— Ну, уж это неправда, Федор Иваныч! — вступился Калин Калиныч. — Это вы напраслину говорите-с...

После этого вечера мне несколько раз приходилось сталкиваться с Калином Калинычем, и мы встречались уже как старые знако-

мые. Добрый старик настоятельно приглашал меня к себе в гости, извиняясь очень подробно, что он живет в простой избушке. Меня очень интересовал этот странный человек, но побывать у него все как-то не удавалось.

Василису Мироновну я знал только по слухам, но и по этим отрывочным сведениям, какие имелись у меня, я, кажется, сразу узнал бы ее, — настолько ее портрет резко отличался от всех других людей.

По своему общественному положению она была раскольничья начетчица, но это было, так сказать, ее официальное звание, а в действительности через ее ловкие руки проходило многое множество самых разнообразных дел, которые даже невозможно было отнести к какой-нибудь определенной профессии. Жила она в Старом заводе, на краю селенья, в новеньком деревянном домике с зелеными ставнями. По семейному положению она была христова невеста, бобылка. Почему не вышла замуж Василиса Мироновна, это составляло загадку. И по красоте, и по здоровью, и по своему уму, и по характеру она была завидной невестой, и любой заводский парень

женился бы на ней, только стоило ей повести бровью; но она осталась старой девой, ревниво сохраняя свою самостоятельность, девичью волю и скрывая от посторонних глаз истинные причины своего девства.

Самыми главными достоинствами знаменитой раскольницы были ее характер и язык, — она умела со всеми «ладить» и заговаривала своей ласковой, медовой речью каждого. В ее характере было что-то неотразимо привлекательное, и с ней мирились даже такие люди, которые явно были предубеждены против нее. Василиса Мироновна сумела поставить себя так, что служила соединяющим звеном между раскольниками и православными. Она была везде, все ее знали, и все были рады ее видеть: от раскольника золотопромышленника она шла к православному попу, от попа — к исправнику, от исправника завертывала к матушке дьяконице, от матушки дьяконицы шла к знакомому мужику. И везде у ней было дело, везде ей были рады, и везде она оставалась одной и тою же Василисой Мироновной — доброй, ласковой, остроумной. В характере этой женщины соединя-

лись энергия и предприимчивость мужчины с любящим сердцем женщины, в чем, вероятно, и заключался главный секрет ее влияния на всех.

Что касается рода занятий, то Василиса Мироновна бралась за все, что попадало ей в руки: читала по покойникам, утешала страждущих, навещала больных, вела торговлю хлебом, покупала на ярмарке лошадей, меняла и перепродавала их; но, без сомнения, ее главным делом были нужды и интересы раскольничьей общины, к которой она сама принадлежала. Чуть кто позапутается из раскольников, накроет исправник моленную, поймает австрийского архиерея, — Василиса Мироновна идет к становому, без ропота, покорно выслушивает всю ругань и распеканья, угрозы и топанье ногами; а кончится дело тем, что тот же становой потреплет Василису Мироновну по плечу и проговорит: «Ну, смотри, ангел мой, чтоб это было в последний раз... Слышишь? Только для тебя это делаю... Понимаешь, ангел мой? Потому, тебе бы не по покойникам читать, а министром быть!» Низко поклонится Василиса Мироновна и смирен-

но отправится в свою избушку. Поговаривали, что она вела торговлю золотом и исправляла должность раскольничьего попа, но это еще требовало подтверждения.

На рассвете Куфта что-то заворчала, — вероятно, на подошедшую очень близко к балагану лошадь. Я проснулся. Небо было совсем серое; звезды едва теплились; все кругом точно оцепенело и замерло в ожидании солнечного восхода. Холодный воздух заставлял вздрагивать, и я напрасно закрывался халатом, которым прикрыл меня, вероятно, Калин Калиныч. Огонь перед балаганом едва тлелся. Калин Калиныч спал около него мертвым сном, свернувшись клубочком; Василиса Мироновна лежала тоже около огонька; один старик сидел и что-то тихо рассказывал своей слушательнице. Я насторожил уши.

— У меня есть кошка, трехшерстная, ребятишки откедова-то добыли, — тихо рассказывал старик. — Вот она и окотись... Я велел было утопить котят-то, да ребята больно заревели, я их и оставил. Пусть поживут, думаю, а там раздадим по соседям, — больно уж любо-

пытные котятки-то, все в мать... Только это я на той неделе лежу у себя в избе, сплю, значит, на полу, да спросонков-то и раскинул руками, да так инда подскочил с войлока: думал, меня домовой за руку-то схватил али змея в избу заползла... А это кошка своих котяток ко мне на постелю стаскала, я это их руками-то и задел. Я взял их да под печку и снес, а сам лег опять спать. Только мне чего-то не спалось в ту ночь, а уж дело к утру, — заря занимается. Вот лежу это я и вижу: кошка крадется, крадется ко мне, а чуть я глаз открою, она и остановится и глаза зажмурит. Думаю, мышь видит, — дай посмотрю, как ловить станет. Притворился, что будто сплю, а сам на нее смотрю, что, значит, будет она делать. И дошлая же эта тварь, кошка, только вот не говорит! Увидала, что я сплю, живо под печку, котенка в зубы — и ко мне его на войлок, а сама под лавку, как молынья, и глядит оттедова, не проснусь ли я. А я лежу — будто сплю. Так она мне всех котят и перетаскала, потому под печкой-то им жестко спать, а на войлоке мягко... То ли не дошлый зверь!.. И так мне в те поры жаль стало котяток, точно вот малых

детей... Пошел в сенки, принес им шубу, устроил гнездо, а наутро велел ребятишкам кудели им натаскать под печку-то.

Василиса Мироновна выслушала этот рассказ, не проронив ни одного слова, а потом, зевнув и перекрестив рот, проговорила:

— Что-то ноне, говорят, больно шалят на Старом заводе...

— А вот дошалят! — коротко отвечал старик.

— Ты смотри, Савва, поберегай лошадь-то, — неровен час...

— Куда им, — руки коротки! — самоуверенно отвечал старик, задумчиво глядя на огонь.

Глава 4

Когда я проснулся, солнце уже было очень высоко, и его лучи начинали заглядывать в мой балаган, в котором теперь, кроме меня, никого не было. Я долго наслаждался моим одиночеством, лежа с закрытыми глазами и припоминая все виденное и слышанное мной вчера вечером и ночью. Со стороны леса доносился глухой шум и голоса каких-то птиц. Время от времени по густой траве, которая зе-

леным ковром покрывала весь лог, волной пробегала лепечущая струя легкого ветерка; она доносила до меня человеческие голоса и какие-то неопределенные звуки, происходившие, как я догадывался, от ударов лопаты по камням. Раннее утро, лучшее время для охоты, я проспал самым бессовестным образом, и мне теперь ничего более не оставалось, как только брести на Момыниху; но мне хотелось остаться пока здесь, среди этой оригинальной группы старателей, — хотелось познакомиться на месте с знаменитыми хищниками, добывавшими золото самым первобытным способом, как добывали его, может быть, еще аргонавты[177], ездившие на край света за золотым руном.

Старатели — своего рода кроты; они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой золотоносных песков. Дело в том, что старатель обыкновенно работает в одиночку, много втроем или вчетвером, очень редко целою семьей; все золото или платину, которую он намоет в течение недели, он обязан сдать на ближайший прииск, где помещается контора

арендатора, взявшего на откуп известную местность. Старатели обыкновенно люди очень бедные и поэтому не могут делать серьезных разведок и, кроме того, вырабатывают только лучшие места и то кое-как; такою работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематической разработке больших компаний. Старатели иногда разом открывают несколько отличных россыпей, но, не имея собственных средств для их разработки, скрывают их от разведочных компаний с замечательною ловкостью, распускают ложные слухи и не чуждаются даже подкупов; разведки производятся при помощи этих же старателей.

Вред старательских работ, о котором громко прокричали горные инженеры и о котором мы сейчас только говорили, вещь еще очень сомнительная и требует серьезного исследования. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с тою лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей.

Выйдя из балагана, я принужден был на время совсем закрыть глаза, — так ослепительно светило солнце, стоявшее над головой. Саженях в двухстах от меня, на берегу маленькой речки, терявшейся в зелени осоки, лопушника и кустов ивняка, мои вчерашние знакомые били шурф. Куфта лежала на небольшом бугорке и подозрительно следила за мной. Ей очень хотелось броситься ко мне с оглушительным лаем и даже, может быть, вцепиться своими белыми зубами, но, посмотрев вопросительно на хозяина, она оставила свое намерение и с легким ворчаньем улеглась на прежнее место, продолжая наблюдать за мной на всякий случай. Эта картина глубокого лога, с группой хищников-старателей в центре, точно была вставлена в темно-зеленую раму густого сибирского леса, из-за зубчатой линии которого на севере подымались волнистые силуэты Уральских гор, подернутых синеватою дымкой. Я долго любовался этой чудной картиной далекого севера, так и просившейся на полотно, и затем отправился к старателям.

Василиса Мироновна стояла по грудь в ка-

кой-то яме, имевшей форму могилы, откуда и выкидывала железною лопатой песок серого цвета. Кудрявый, русоволосый мальчик отгребал песок от краев ямы и накладывал его в тачку. Калин Калиныч тоже не оставался без дела; пот с него катился градом, лицо было красное, как только что отчеканенный пятак. Но толку от его работы было, вероятно, очень мало, и он только мешал другим работать. Смешно было видеть, как эта хлопотливая фигурка то тащила какую-то доску, то заглядывала в яму, то петушком забегала вперед старика, катившего тачку с песком, и все это делалось от чистого сердца, с искренним желанием помочь, принять участие в работе других.

— Бог на помощь! — поздоровался я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик; он с легким напряжением катил свою тачку по узкой дощечке и с особенною ловкостью вываливал из нее песок, точно вся эта работа была для него игрушкой.

— Ты, барин, поздно же помогать нам пришел, — заговорила своим певучим голосом Василиса Мироновна. — Только ты в нашу ра-

боту не годишься, — работа тяжелая, а ножки у тебя тоненькие: того гляди, надломятся. Помоги лучше вон Калинычу, — он, сердешный, совсем замаялся, с самого утра мешает нам работать...

— Уж можно сказать-с, — вступился Калин Калиныч, отирая пот с лица, — уж точно-с, ежели Василиса Мироновна что скажут-с... Хе-хе-хе... — и Калин Калиныч только развел ручками, с умилением посмотрел на всех и неожиданно добавил: — Оченно жарко-с!..

— А ты бы, Калиныч, угостил барина-то, чем бог послал, — заговорил старик, делая мне смотр своим единственным оком. — Отпустил бы я Гришутку, да работой тороплюсь, — надо пробу сделать...

— Хорошо, я это все мигом оборудую-с...

Гришутка, мальчик лет тринадцати, был отлично сложенный ребенок: ширина плеч и высокая грудь, так и вылезавшая из-под ситцевой рубашки, красноречиво говорили о завидном здоровье; но смуглое лицо с серыми глазами было серьезно, даже строго не по летам. Он продолжал свою работу с сосредоточенным видом, как большой, точно не заме-

чая, что говорили о нем.

Глава 5

Немного постояв, мы с Калином Калинычем направились к балагану. В моем ягдташе лежал рябчик. Старик, усевшись на корточки, не без искусства принялся жарить его прямо в золе, не ощипав перьев и не выпотрошив. Эта операция требовала известной ловкости, потому что рябчик, завернутый в широкие листья какой-то травы и зарытый в золу, все-таки мог сгореть самым незаметным образом.

— Ты когда, Калин Калиныч, научился рябчиков-то жарить? — невольно спросил я.

— Я-с?.. А Савва Евстигнеич научили-с, то есть собственно у Гришутки-с... Очень смышленый мальчик!..

— А кто этот Савва Евстигнеич? Я что-то не припомню.

— Савва Евстигнеич?.. Они-с, допреж этого, больше извозом занимались, а теперь вот лет с десять так живут, отдыхают, а вот теперь надумали искать платину... Такой уж неспокойный старик и есть!

— Савва Евстигнеич из Старого завода?

— Точно так-с, все старозаводские-с.

— А Василиса Мироновна зачем здесь?

— Так-с, у них дела-с... Можно сказать — удивительная женщина! — с одушевлением заговорил старик и, разведя ручками, прибавил: — Душа у них — золотая душа-с!

Я видел, что Калину Калинычу строго-настрого заказано было развязывать язык, поэтому и не стал продолжать дальнейших расспросов. Рябчик тем временем поспел, и мы его разделили по-братски, а затем, запив его кваском, растянулись в тени балагана, отдавшись каждый своим думам. О чем думал Калин Калиныч, трудно было догадаться, тем более что на его говорливые уста наложена была печать молчания самой Василисой Мироновной, каждое слово которой было для него законом. Я старался ни о чем не думать и просто любоваться синевою неба, зеленью леса, блеском солнца, отдыхая душой среди этого простора живой чудной природы севера. Но такое желание оказалось решительно неосуществимым. И пыхтевший рядом Калин Калиныч, видимо, угнетаемый обетом молчания и сгоравший от желания поговорить со

мной по душе, как со старым знакомым, и мелькавшая невдалеке группа старателей — все нагоняло вереницу мыслей.

Среди самой глуши леса неожиданно натолкнулся я на самую странную комбинацию человеческих существ, тайну которой чем дальше, тем сильней хотелось разгадать, и вместе с тем не хотелось вмешиваться в жизнь этой кучки людей, нарушать их покой. Одно только было для меня ясно, как день, именно, что не простая случайность соединила этих людей между собою, что какая-то тайная причина связывала их и не имела ничего общего с их старательством. В самом деле, какие интересы могли соединить эту энергическую женщину, раскольничьего попа, с простяком, светлою душой, Калином Калинычем, и, далее, какая связь могла быть между ними и Саввой Евстигнеичем, этим загадочным стариком-старателем? Наконец, зачем у этого мальчугана Гришутки такое преждевременно серьезное лицо? Пока я напрасно ломал голову над этими вопросами, солнце поднималось все выше и выше, и, наконец, его лучи добрались и до нас с Калином Калинычем. Я ста-

рался выдержать характер и терпеливо жарился на солнечном припеке. А Калин Калиныч даже наслаждался солнечною теплотой, которую с таким обилием посылало ему само небо.

— Этакая благодать-с, — заговорил он, наконец, поворачивая другой бок на солнце. — Ей-богу-с, истинная благодать-с! Эко, подумаешь, у господа простору-то, воли-то, а нам все мало, все грешим, все недовольны... Эх, грехи, грехи!.. Вон пташка поет, козявка всякая стрекочет, а солнышко!.. Больно уж я люблю его. Господи, помилуй! Господи, помилуй! И в писании говорится: «Воззрите на птицы небесные: не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает их. Воззрите на полевую лилию: и Соломон во всей славе своей не одевался лучше ее». Чудны дела твои, господи, вся премудростию сотворил еси!..

Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника, лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно

он, в соприкосновении с матерью-природой, переродился и просветлел каким-то внутренним светом.

— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?

— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливаются медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особливо кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото оченно строго судили, не как по нонешнему времю. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.

Калин Калиныч посмотрел на меня, повер-

нулся животом вниз и, положив голову в свои ладони, как тыкву, продолжал:

— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бе-едовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от приисков совсем и отстали, стали водкой заниматься, — это дело в беспример безопасное и прибыльное, — а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатьич, Печенкин то есть, уж старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними.

«Что, говорит, подлецы...» Это он Аристарху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба — все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли.

Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому — при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, — ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, только за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись,

а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, — вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с... Самое казусное-с дело-с!..

Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:

— А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с... Ей-богу-с! А прежде, бывало-с, хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с...

Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам,

надеясь найти защиту от облепившего ее овода.

— Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! — заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.

Он соорудил небольшой костер из старого пня, нескольких полен и дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хворостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.

— А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, — заговорил он, болтая ногами.

— Какую церковь?

— А в память освобождения крестьян-с... Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполни-

лось, как хлопочем-с. Оченно много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу подходит, — кунпол выводить зачали-с...

— На чьи же деньги эта церковь строится?

— Как на чьи-с? — На мирские-с... Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то...» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по конец жизни... Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчитывает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий говорит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога...» А со стороны сколько напринимался — страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, — долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.

— А когда будут святить церковь? — спросил я довольно громко.

— Шш!.. — зашипел Калин Калиныч, многозначительно кивая в сторону лога. — Не любят они меня за эту церковь, гложут-с... Особливо Василиса Мироновна. Она женщина, можно сказать, божественная-с, потому от писания у них разумение большое, а вот этого не выносит-с... Слышать не могут-с, потому как к старой вере большое прилежание имеют, и построение святого храма для них большой соблазн. Василиса Мироновна как об этом предмете начнут с отцом Нектарием разговаривать-с, все равно как книга-с... Ей-богу-с! Как по печатному, так и отчитывают-с, так и отчитывают-с... Отец Нектарий спорит, спорит с Василисой Мироновной, да и скажет: «Вы, Василиса Мироновна, необнакновенная женщина-с!.. Оченно свободный разговор имеете и большую смелость».

Мы немного помолчали. Вспомнив рассказ Калина Калиныча об его дочери, я спросил его:

— У вас, Калин Калиныч, кажется, есть дочь?

— Да-с... А то как же-с? — спрашивал в свою очередь старик таким тоном, точно у

каждого человека непременно должна быть дочь. — Только много с ней хлопот, с дочерью-то...

— Какие же с ней хлопоты, Калин Калиныч?

— А как же-с? Ведь она — женщина, а я в ихнем женском деле ничего не понимаю-с, вот и хлопоты-с... Я одно говорю, а она — другое, да еще скажет: «Вы бы уж, родитель, лучше молчали!» Ей-богу-с! И замолчишь, потому как я мужчина и не могу понимать по женской части. Да и карахтер у Венушки какой-то необнакновенный-с, совсем какой-то неукротительный-с... Да-с. Еще при жизни Матрены Савишны-с это стало заметно. А покойница имела сама карахтер, можно сказать-с, жестокий, так другой раз возьмут Венушку-то, голову защемят-с промеж ног, загнут-с подол-с, да и оштрафуют посредством крапивы-с... Из своих собственных, родительских рук-с! А все из-за чего? Венушка сызмала всем дерзкие слова говорила... Мать-то ее дерет, дерет, а она, как вырвалась, сейчас заскачет на одной ноге, матери высунет язык и свои слова выражать: «Что, натешилась, а?

Что, взяла?» Ей-богу-с...

Горох у нас в огороде-то был, для Венушки же больше и садили его, так нет-с, не хочу своего гороху, а подавай чужого-с... Подберет себе компанию мальчишек, да и подобьет всех к соседке горох воровать. Облепихой звали соседку-то, большущая женщина из себя была, а в разуме не тверда-с... Возьмет палку-с, эта самая Облепиха, да с палкой в борозду и завалится, — это ребятишек караулить-с, — а тем это и любопытно-с. Даже до смеху доходило-с... А как мать умерла, Венушка от моих рук совсем отбилась, поступила в учительши, а насчет дерзких слов только слушай-с!.. А ведь я ей что постоянно говорю: «Венушка, удержи ты свой вострой язык, Христа ради! Посмотри ты на меня, ведь я тебе отец...» А она еще хуже от этих моих слов — и пойдет-с, другой раз и меня, старика, до слез доведет. Ей-богу-с! Хоть взять отца Нектария: человек, кажется, божественный и старички, а Венушка выдумала звать их сладчайшим... Разе хорошее это дело-с? Необнакновенный карахтер-с... И другие-то ругают меня, что такую дочь вырастил и что она неукротимо се-

бя держит, а я ихнего дела-с совсем не могу понять-с. Ведь не могу же я голову меж ног да крапивой-с: первое — Венушка на возрасте-с, девица вполне-с, а второе — мужчине это совестно делать с женским полом...

Намеднись какой-то съезд был у учителей, — продолжал Калин Калиныч, опять болтая ногами, — множество их собралось на Старом заводе, одолели нас с Евменией, да и народ какой-то оголтелый!.. Были у них там какие-то собрания, начальство приезжало-с. Вот одинова на собрании-то ихний начальник и говорит-с: «А что, говорит, ежели, говорит, я приезжаю в школу раз и застаю учителя не в себе, значит пьяного, приезжаю в другой — опять застаю не в себе, в третий — не в себе, — что, говорит, я должон тогда делать с ним?» А Венушка не сробела, да и говорит: «А что, говорит, делать, к примеру, учительнице, ежели, говорит, приезжает к ней начальство в школу раз не в себе, в другой — опять не в себе, и в третий раз не в себе?..» Натурально, этакие слова не понравились, и Венушке был большой выговор-с, а она только смеется-с. Ей-богу-с!..

Стоявшая над дымом лошадь, сивой масти, с разбитыми ногами и отвислыми ушами, точно хотела сказать, что она принадлежит не кому другому, как самому Калину Калинычу. Чтобы проверить это предположение, я спросил старика, и лошадь действительно оказалась его. Спустя несколько минут на дым пришла другая лошадь, худая, изможенная, с болтавшейся головой на тонкой шее и с волочившеюся длинною цепью, которая тянулась за ней, как змея. Мне невольно бросилась в глаза эта цепь, а затем тонкие, сильные ноги лошади и особенно ее широкая грудь, как-то неестественно переходившая в подобранный живот, какой бывает у загнанных кляч. Это была чистокровная киргизская лошадь по всем признакам — и по большой горбоносой голове, и по длинным, мохнатым, поротым ушам, и по выступавшим углами широким костям передних лопаток и зада.

— Изволили засмотреться на лошадку-с? — прервал мои наблюдения Калин Калиныч.

— Да, странная лошадь!

— Нет-с, она не странная, а золотая лошадь, да-с! — с какою-то гордостью заговорил

Калин Калиныч.

— Почему золотая?

— Да так-с... Потому что цены ей нет — вот какая это лошадь! Мало ли лошадей на Старом заводе, на всех других, на ярманках, а такой нет!.. Нет — и делу конец! Вы теперь, ежели случится вам быть на Старом заводе, спросите первого мальчишку: знаешь «Разбойника»? — непременно скажет, что знает. Это такая лошадь, такая лошадь... Еще ни на одном бегу ни одна лошадь не обошла ее; а зимой в санях — да она горит, еретица, в оглоблях-то, огнем горит... Ей-богу-с! А почему ей цены нет?

Я сознался в своем неведении.

— Ах, господи, да неужели не слыхали-с? — с каким-то укором заговорил Калин Калиныч, с сожалением глядя на меня. — «Разбойник» — двужильная лошадь, у ней двойной дух — вот в чем вся сила-то!

— Что это значит двужильная?

— Двужильная-то? Это-с... это, к примеру, выходит так: проехали вы на «Разбойнике» полсотни верст, да ведь проехали вы их в три часа, сейчас остановились; она сейчас дохнет

этак тяжело-тяжело раза два, и опять катай на ней пятьдесят верст — стрела стрелой летит! Вот это и значит по-нашему двужильная лошадь. А силища у ней — ужасти, ей-богу-с!.. Сто пудов семьдесят верст везет без отдыха... Двойной дух — одно слово!

Я с удивлением посмотрел на «Разбойника» и в душе не поверил словам Калина Калиныча.

— А где он достал эту лошадь?

— Достал он ее, сударь мой, в степи, в киргизах, а как достал, не умею вам сказать-с. Ему тут же, на месте, давали за нее целый косяк лошадей, — не отдал. «Разе я, говорит, сам себе враг?..» Вот он какой, Савва-то Евстигнеич!..

«Разбойник» стоял под самым дымом, полузакрывши глаза и слабо отмахиваясь коротким хвостом от жужжавших насекомых, и сколько я ни рассматривал его, решительно ничего не мог найти, кроме несоразмерно сильно развитой грудной клетки и несоразмерно тощего живота. Таких киргизских лошадей я видал очень много на Урале.

Глава 6

Полежав еще немного у балагана, я отправился опять к работавшим у шурфа. Василиса Мироновна оставила свою работу и теперь отдыхала, лежа на траве; Гриша лежал тоже, заслонив глаза от солнца рукой; Савва Евстигнеич, в двух шагах от них, сидел на берегу речки, с громадным ковшом в руках, в котором промывал содержащий платину песок. Он делал пробу. Промывание песку совершалось очень просто. Старик погружал ковш с песком в воду и там долго мешал в нем песок рукой, отчего муть шла по воде кругами, а собравшиеся наверху камушки старательно выбрасывал вон. В ковше становилось все больше свободного места, так что он во второй половине операции прямо зачерпывал ковшом воды, мешал ее с песком и затем образовавшуюся мутную воду сливал. Через полчаса такой работы на дне ковша осталось только немного песку; старик с особенною тщательностью начал отделять его от появившегося черного песочка, так называемого «шлиха», содержавшего платину. Еще несколько минут работы — и на дне ковша остались одни «шлихи»; их старик промыл

так же, как песок, и затем долго рассматривал на дне ковша какие-то крупинки

— Ну, что? — спрашивала Василиса Мироновна, по обыкновению не поворачивая головы.

— Да кто его знает, — уклончиво отвечал старик, — как будто маненько есть...

— Одна платина? — опять спросила Василиса Мироновна.

— Нет, есть и золото, только больно мало.

Я подошел к старику. На дне ковша лежала платина вместе с крупинками золота. Всего было около четверти золотника. Проба самая богатая, но старик просто притворялся, что платины «как будто маненько есть»... Это общая раскольничья черта — не высказываться сразу; но, с другой стороны, старик, видимо, был недоволен, — значит, он ждал золотой пробы.

— Наврал, страмец! — сердито буркнул он, собирая платину в бумажку. — Проклятый Шинкаренко опять подвел... Золото, говорит, лопатой греби... Ах, он... — И старик завязал очень крепкое словцо и почесал затылок.

— А ты и поверил ему! — равнодушно го-

ворила Василиса Мироновна. — Кто ищет золота по таким местам? И лес не такой, и земля не такая.

Мы вернулись все к балагану. Я опять наблюдал всю компанию, особенно старика, который меня интересовал очень сильно, потому что, очевидно, он был головой в этой странной компании. Василиса Мироновна принесла из балагана маленькую котомку, из которой достала ковригу ржаного хлеба и белую тряпочку с крупно истолченною солью.

Медленно и с покойною важностью отрезала она несколько ломтей во всю ковригу, постлала на траву небольшую синюю скатерть, развернула тряпочку с солью, поставила небольшой зеленый бурачок с квасом, и обед был готов. Старик выбрал самый большой ломоть хлеба, круто его насолил и свистнул резким, далеко раскатившимся свистом. В ответ донеслось радостное ржание, послышался топот, и «Разбойник», подняв голову и раздув ноздри, показался в высокой траве. Не добежав до балагана несколько шагов, он оглядел всю компанию блестящими, горячими глазами, а затем, как ручная собака, под-

бежал к старику и дружелюбно положил ему свою голову с поротыми ушами прямо на плечо. Старик ласково потрепал лошадь по шее и начал ее кормить хлебом, отламывая от ломтя, небольшие кусочки. Съев хлеб, «Разбойник» поднялся было на дыбы, точно хотел обнять старика, а потом мгновенно опять скрылся в лес, откуда донесся только его звонкий топот.

— Балуешь ты лошадь, — заметила Василиса Мироновна.

— Не могу сам есть, пока его не накормлю, — улыбаясь, проговорил старик, видимо, довольный и счастливый.

Старик вымыл руки; все встали лицом к востоку и помолились. Все трое принялись обедать, с каким-то благоговением откусывая хлеб и боясь уронить на землю малейшую крошку дара божия. Я залюбовался этою безмолвною трапезой и в душе завидовал аппетиту вкушавших в поте лица хлеб свой; глядя на них, кажется, мертвый захотел бы есть. Хлеб был запит квасом, затем все снова помолились, и торжественный обед кончился. Василиса Мироновна отправилась в балаган

вздремнуть малую толику, Калин Калиныч зачем-то побрел с Гришуткой в лес, а я остался один с Саввой Евстигнеичем.

— Что, Савва Евстигнеич, будешь работать здесь али нет? — полюбопытствовал я.

— Да как тебе сказать, и буду и не буду, — охотно заговорил старик, теперь относившийся ко мне с полным доверием. — Проба, пожалуй, и хорошая, да за платину-то нам платят по-сиротски... Ведь золотник-от всего по двугривенному обходится, — какие это деньги?

— Да ведь работают же, значит — выгодно?

— Как не работать — работают, только ведь эта платина для нас распоследнее дело. Есть такие лога, где платина гнездами, — ну, это другой, разговор: тут, пожалуй, и деньгу зашибешь. Тоже вот жилой она попадает — тоже из-за хлеба на квас можно биться, а здесь идет россыпью, да и глубоко пески.

— Вы давненько этим занимаетесь?

— Чем это?

— Ну, старательством-то.

— Старательством? — Старик задумался,

потом усмехнулся и, посмотрев на меня, заговорил: — Да вот на второй десяток перевалило, как землю рою... Только все это пустяки!

— Почему так?

— Так, — коротко отвечал старик и замолчал, — не стоит говорить... Может, слыхал, такая поговорка есть: «Золото роем, а сами голосом воем». Через это самое золото много наших мужицких слез льется.

— Значит, прежде за барином вам лучше жилось? — спросил я, пользуясь случаем. — Ведь барин хлебом кормил и одевал иногда даром.

Старатель долго молчал и потом проговорил:

— Это дело мудреное, а вот я расскажу тебе одну побасенку: она пустая, побасенка-то, а все дело как на ладони. От старых людей она до нас дошла, значит, недаром она была сложена. Видишь, жила у барина одна собака в холе и во всяком довольстве. Пришла зима. Холод, вьюга, а вокруг деревни волки стаями так и ходят, так и ходят... Воют, сердечные, с холоду и голоду, а взять нигде нечего.

Вот однажды собака и пошла в лес, а на-

встречу ей как раз матерой волчище и с голоду зубищами лязгает. Собака посмотрела на него и говорит: «А зачем вы, волки, так по ночам воете?» — «А с голоду воем», — отвечал истощенный волк. А собака опять волку: «Отчего же вы не идете в деревню? Стерегли бы двор у какого барина, а он бы вас кормил. Ты теперь, волк, вон как отощал, а тогда бы растолстел, как я...» Волчище усмехнулся и спрашивает: «А на шее у тебя что?» — «Ошейник». — «А для чего он тебе?» — «А когда меня на цепь сажают, так для этого и ошейник». — «Ну, так прощай! — сказал истощенный волк. — Хоть у твоего барина и хорошее житье, а мне все-таки лучше голодному по лесу ходить, чем сытому сидеть на цепи».

Старик замолчал. Эта побасенка очень понравилась мне: она слишком много говорила за себя, и я понимал, что передо мной сидел один из тех «истощенных волков», каких создало крепостное право. «Да, именно истощенный волк, — думал я, со стороны рассматривая своего оригинального собеседника. — Старатель — это именно и есть истощенный волк, который хищником бродит по лесам,

отыскивая свою добычу...»

— Говорят, у вас на Старом заводе много конокрадов развелось? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Да где их нет, мошенников!.. И наши старозаводские больно пошаливают.

— Тебе не случалось с ними дело иметь?

— Мне?.. Нет, раз побывал я в ихних руках. — Немного помолчав, старик заговорил: — Была у Василисы Мироновны буланая лошадка, рублей шестьдесят давана, — тогда еще на ассигнации считали, — вот эту лошадку и стянули, да таково ловко, как в воду канула. Василиса Мироновна туда-сюда, ко мне, выручи... Думаю, дело мудреное, а пособить бабе надо, потому дело женское, необычное. Пошел по знакомым мужикам, толкнулся, — думаю, не пали ли слухи до них. «Нет, говорят, не знаем, а в Куляшево наведайся...» Подумал, подумал, сел на «Разбойника» да в Куляшево. А Куляшево, надо тебе сказать, чисто разбойничье гнездо, разбойник на разбойнике, разбойником понужает, того и гляди, середь белого дня зарежут... Приезжаю в Куляшево, к знакомому мужику: «Пособи, роди-

мый, лошадка потерялась». — «Не знаю, говорит, ничего не знаю». У них у всех такая привычка: все «не знаю». А я думаю: «Врешь, негде быть лошади, окромя вас, долгоспинников». Мы их долгоспинниками зовем, потому все до единого так медведями и глядят, точно вот с берлоги сейчас подняли. Пожил я этак денька два в Куляшеве, а толку нет. Купил вина, угостил хозяина и говорю ему: «Скажи, говорю, дядя, где лошадь?» — «Да, ведь не твоя, говорит, о чем печалуешься?» — «Это уж, говорю, мое дело, а твое — скажи, где лошадь». Посмотрел он на меня: «Так и быть, говорит, уважу по старой дружбе; ступай, говорит, к Тишке». Прихожу. «Ладно, говорит, знаю, где твоя лошадь, только, говорит, за труды мне четвертную». — «Ах ты, думаю, разбойник этакий», а делать нечего. «Бери, говорю, синенькую». Поторговались маненько и порешили на ней. Повел он меня во двор: «Ищи, говорит, лошадь, — она здесь». Я поглядел, походил, в конюшне стоит лошадь да не та, а больше негде ей быть. «Разе, говорю, под полом спрятана?» — «Нет, говорит, ищи». Смотрю, стоит амбарушка махонькая-размахонь-

кая, в какой овец держат, — ну, и дверь проделана тоже махонькая. Я раньше поглядывал на эту дверку, да думаю, буланка — большая лошадь, а тут и овце едва пролезть. Смотрел, смотрел на меня Тишка, усмехнулся, толкнул дверь ногой. «Вот, говорит, твоя лошадь, получай». Я нагнулся, заглянул в клетушку: точно, буланка Василисы Мироновны стоит и сено жует. «Ах вы, разбойники, думаю, куда этакую лошадь затащили, а вот как, мол, вы ее оттедова добывать будете». Так они, подлецы, что сделали: взяли ее повалили, связали да из хлева-то на катках и выкатили. Взял я эту самую буланку, да подобру-поздорову домой скорей, а этот еретик Тишка и говорит: «Напредки, говорит, не объезжайте мимо-то». — «Ладно, мол, добрый человек, как ни на есть, ежели доведется, так десять верст околицы мимо вашего проклятого гнезда». — «Хорошо, — говорит Тишка, — не больно закаявайся, — к нам и получше тебя ездят, — а то, говорит, мы шутить не любим».

Старик задумался, а потом улыбнулся и, подняв единственный глаз на меня, проговорил:

— А ведь эти долгоспинники тогда чуть-чуть меня не порешили...

— Это как?

— Самым простым манером, только «Разбойник» вынес, — не без гордости проговорил Савва Евстигнеич. — Как выручил я от Тишки лошадь, сейчас же и собрался в дорогу, а был уж час девятый на дворе, по летнему делу смеркаться начинало. Уговаривал было меня хозяин остаться переночевать, да уж больно было мне муторно глядеть-то на них, разбойников! «Не пришлось бы воротиться, — говорит мне хозяин, — дорога-то больно плоха, своротов много». — «Нет, мол, видно не доведется воротиться, а дорогу, мол, лучше тебя знаем». Еду. Отъехал верст с пять — стемнело. Опустил поводья, думаю, «Разбойник» сам дорогу найдет, потому ночью видит, как все равно кошка, и по духу знает, куда ехать. Только задумался я этак маненечко, а дорога шла под гору, да такая скверная, только чертям ездить, — вдруг из стороны прямо к «Разбойнику» двое за повод хвать!.. «Ах вы, еретики этакие! — кричу им. — Что вы, кричу, окаянные, делаете? Я вот вам!» А у самого и обо-

ронки-то никакой в те поры, как нарочно, не случилось... «Разбойник» сейчас на дыбы да одного ножкой — чук! — тот кубарем и скатился под гору, а сам вперед. Только гора крутая-прекрутая, и ходу нам, окромя шагу, нет, да и то гляди в оба, шею как бы не сломать. Спустились мы этаким манером в лог, — глубокий такой лог, — опять из стороны кто-то как хлопнется под ноги «Разбойнику». Другая бы лошадь десять раз сбросила, а «Разбойник» только перескочил и опять вперед. Думаю, дело плохо, — пожалуй, ни за грош порешат. Пригнулся я к самой шее «Разбойника» и думаю: «Ну, теперь сослужи мне службу, вынеси, — озолочу». Только стали подниматься в гору, опять на дорогу: хлоп! — опять «Разбойник» перескочил, а я слышу, начинает лошадь сердиться, храпит, дрожит. Только бы, думаю, на гору подняться, а там поминай как звали! А они, еретики, догадливы были: как только стал я подъезжать наверх-то, слышу, точно в стороне опять что-то потрескивает, а сам лежу на «Разбойнике», прильнул, сердце так и бьется. Вдруг поперек дороги двое на лошадях: значит — ни взад, ни вперед. Делать

нечего, сотворил про себя молитву, погладил «Разбойника» по шее, а сам по-разбойничьи на один бок свесился да как свистну. «Разбойник» — вперед, да и полетел, что твой ветер, а они нам вдогонку давай палить. Так ты не поверишь, эти двадцать верст до Старого завода мы сделали в полчаса, даже меньше, чем в полчаса. Погнались было за нами, да на двух верстах отстали. Приехали мы домой целы и невредимы и буланку привели. Привязал я «Разбойника» к столбу, — весь в мыле, сердечный, — снял шапку да в ноги ему, ей-богу, так и повалился в ноги. «Спасибо, говорю, сослужил ты мне службу верой и правдой! По конец жизни буду помнить твою службу!»

Старик замолчал и, низко свесив голову, о чем-то задумался; вероятно, пред ним протянулись другие воспоминания долгой, полной приключениями жизни. Он в теперешней своей позе так и просился на картину: ворот красной рубахи был расстегнут и открывал могучую, обросшую волосами, грудь; загорелая широкая шея точно была отлита из бронзы; седая окладистая борода и седые брови несколько смягчали эту ничем не сокруши-

мую силу в образе человеческом. Старик долго и сосредоточенно смотрел своим одиноким глазом, пока я не прервал этого молчания вопросом, где он достал свою лошадь.

— Это было лет семь тому назад, — заговорил старик, — я тогда с гуртовщиками ходил в степи. Гнали из-под Семипалатинска косяков пять лошадей в Старый завод на ярмарку. Дело было на полдороге. Стали нас больно обижать кыргызы, все ладили отбить лошадей, да не удавалось... Больно уж один надоел: и день и ночь так и вертится у нас в глазах. Мы уж думали, что это дьявол, а не человек, потому то назади нас, то впереди, и не о дву-конь, а все на одной гнеденькой лошаденке, как бес перед заутреней, вертится... Уж мы его ловить пытались, пытались, — куда тебе! Гикнет по-ихнему, да как сквозь землю и провалится... Ищи его по степи-то. Скорее ветер догонишь, чем его, окаянного... А хозяин над нами потешается: «Куда-де вам, вахлакам, кыргыза ловить». И так это мне обидно стало, что даже ночью, проклятый, снился, а под конец я из-за него и пищи-то лишился: есть не могу, спать не могу, тоска напала, и все ду-

маю о лошади, каким бы ни на есть манером добыть ее из-под кыргыза.

Старик замолчал, а потом совершенно другим тоном добавил:

— А ведь я этого самого кыргыза пристрелил...

Я долго рассматривал выражение лица Саввы Евстигнеича: хоть бы малейшая тень, хоть бы одна морщинка, — нет, такое же доброе, хорошее выражение на лице, как ночью, когда старик рассказывал Василисе Мироновне о котятах.

— Тебе не жаль его?

— Кого это?

— Ну, да киргиза, которого...

— Которого я убил?.. Да чего мне его жалеть-то? — с удивлением заговорил старик.

— Как чего жалеть?.. Да ведь он — человек?

— Ну, уж это ты, барин, напрасно, — заговорил старик, обидевшись и с некоторым сожалением глядя на меня. — Какой же он человек? Я лошадь пожалею, собаку пожалею, потому они хозяина знают и добро помнят, а кыргыз — што? Кыргыз — нехристь, погань,

значит, туда ему и дорога!.. Они нашего брата не больно жалеют... В степи-то один бог да Никола, — твори, чего хочешь!

Я несколько успокоился, потому что подобное рассуждение походило хоть немного на логику, но расспрашивать дальше об обстоятельствах, сопровождавших приобретение лошади, я не имел желания.

Солнце начинало уже клониться к горизонту, зной летнего дня заметно спадал, — значит, пора было отправляться в дорогу. Еще раз расспросив старика подробно о дороге, я начал с ним прощаться.

— Погоди, востроногой! — послышался из балагана голос Василисы Мироновны. — Опять, пожалуй, заплутаешься... Нам с Калинычем тоже пора отправляться, — дойдешь с нами до поворота на Момыниху, а там уж слепой выйдет.

Мне пришлось только согласиться на это приглашение.

Лошади были скоро оседланы, и, простившись со стариком, мы втроем двинулись в путь. Балаган со стариком и мальчиком скрылся из наших глаз на первом повороте

едва заметной лесной тропинки, по которой мы взяли наш курс. Василиса Мироновна ехала настоящею амазонкой на своей буланке, — вероятно, той самой, о которой рассказывал старик. Сидела она в высоком киргизском седле по-мужски, молодцом, хоть это и не совсем гармонировало с ее кубовым сарафаном и темным платком на голове. Калин Калиныч, видимо, никогда не ездил верхом и сидел на своей убогой сивенькой лошадке как мешок, набитый травой. Василиса Мироновна ехала впереди, я старался держаться с нею наравне, а Калин Калиныч замыкал эту торжественную процессию.

— Вы куда же это едете, Василиса Мироновна? — спросил я свою спутницу.

— А тут есть в горах одна могилка, старца Антония, так вот мы туда едем.

— Зачем?

— А на поклонение, — весело отвечала Василиса Мироновна. — Там наших об эту пору, под Петров день, видимо-невидимо собирается, тыщев до трех.

Всю дорогу до Момынихи мы проболтали самым веселым образом, так как у нас на-

шлось очень много общих знакомых. Калин Калиныч иногда вмешивался в наш разговор, но больше молчал, потел, вздыхал, кашлял, постоянно утирался своим платком с изображением сражения, сморкался прямо в физиономию какому-то сердитому генералу и не пропускал случая в приличных местах посмеяться дребезжавшим, с проскакивавшими детскими нотками смехом.

— Вот и Момыниха! — заговорила Василиса Мироновна, когда наша тропинка начала огибать какую-то гору и направо отделила другую дорожку. — Вот ступай направо, — прямо на Момыниху и выйдешь.

— Спасибо, Василиса Мироновна! Прощайте.

— Ладно, не поминай лихом, а когда будешь в Старом заводе, не проходи мимо моей-то избушки! — весело прощалась со мной Василиса Мироновна.

Я свернул на новую тропинку, а моя мужественная спутница продолжала путь в сопровождении своего мешковатого рыцаря. Я остановился и долго провожал глазами эту странную пару, пока она не скрылась в лесу,

смешанном из елей, сосен и берез.

Глава 7

Старый завод облепил своими бревенчатыми домиками подножие двух высоких гор, которыми заканчивалось одно из бесчисленных разветвлений восточного склона Уральских гор. Небольшая, но очень богатая водой река Старица образует между этими горами очень красивый пруд, уходящий своим верховьем верст за пятнадцать, внутрь Уральских гор, занимая глубокую горную долину, обставленную по бокам довольно высокими горами и дремучим лесом. Около этого пруда столпились главным образом заводские домики, точно все они сейчас только вышли из воды и не успели еще вытянуться в длинные и широкие улицы.

Эти скучившиеся по берегу пруда домики, собственно, и составляли ядро Старого завода, около которого постепенно отлагались позднейшие наслоения построек, образовавшие уже правильные длинные улицы, пока крайние домики не уперлись совсем в линию синевшего невдалеке леса, а другие совсем вползли на гору, точно их вскинуло туда ка-

кою-нибудь сильною волной.

Издали вид на Старый завод очень красив: зелень леса, синева неба, пестрота строений — все это смешивается в оригинальную картину, которая целиком отражается на блестящей поверхности пруда, особенно рано утром, когда еще ни одна волна не поднята ветром и вдали пруд подернут туманною дымкой. Одна из гор, у подножия которых раскинулся Старый завод, стоит еще наполовину в лесу, от которого на самой горе остался лишь небольшой гребень; эта гора составляет главную силу и источник богатства Старого завода, потому что почти вся состоит из богатейшей железной руды.

В настоящее время знаменитая гора представляет из себя что-то вроде громадной цитадели с полуразрушенными бастионами и высоким желтым валом кругом. Под горой стоит несколько высоких труб, вечно дымящихся и по ночам выбрасывающих целые снопы ярких искр: это — преддверие знаменитого рудника, бесчисленными галереями раскинувшегося под землей, на глубине восьмидесяти сажен, точно нора какого-то под-

земного чудовища. Длинная плотина соединяет обе горы; к ней прислонилась громадная фабрика со множеством черных высоких труб, пять доменных печей и несколько отдельных заводских корпусов, издали смахивающих на казармы. Несколько глубоких и длинных сливов проводят воду из пруда на фабрику, где, повернув бесчисленное множество колес, шестерен и валов, эта живая сила природы, наконец, вырывается из железной пасти чудовища и с глухим рокотом катится далее, разливаясь в зеленых берегах и принимая прежнее название Старицы.

Мне несколько раз случалось бывать на Старом заводе, и всякий раз меня преследовала мысль о том будущем, которое должно определиться для его населения, о тех рамках, в которые должна будет вылиться его жизнь с отменой крепостного права, введением новых судов, земских учреждений, народного образования и другими условиями новой жизни. Процесс Гвоздева и Печенкина обещал раскрыть много интересных бытовых сторон в жизни Старого завода, поэтому я, закинув маленькое заделье, воспользовался

удобным случаем еще раз побывать в нем.

Мне пришлось остановиться в небольшой гостинице с номерами для приезжающих. Эта гостиница носила многозначительное название «Магнит» и составляла часть заводского клуба, в котором по вечерам играла плохонькая музыка; под нее местная публика танцевала, а главным образом — коротала свое время около буфета и за зеленым полем, на котором процветал в полной силе знаменитый сибирский вист с винтом и даже с каким-то «перевинтом». Это скромное времяпрепровождение нарушалось только более или менее сильными скандалами. Героями их периодически бывали то золотопромышленник Печенкин, то мировой судья Федя Заверткин. При магическом посредничестве общего миротворца Пальцева эти скандалы обыкновенно кончались ничем, скоро совсем забывались и тонули в общей скуке монотонной заводской жизни.

Мой номер выходил одним окном в сад, упиравшийся тенистыми аллеями прямо в пруд; из другого окна я мог сколько душе угодно любоваться видом Нагорной улицы,

проходившей под самыми окнами «Магнита». Наведя справки, я узнал, что процесс Гвоздева отложен еще на несколько дней, — значит, оставалось или сидеть в своем номере и плевать в потолок, или идти в общую залу «Магнита», он же и заводский клуб, или отыскивать кого-нибудь из старых знакомых. Мой сосед по номеру, какой-то свидетель по делу Гвоздева, с первых же часов моего пребывания в «Магните» сделался моим явным врагом, так как имел прескверную привычку так громко сморкаться, чихать, вздыхать и охать, что хоть бери другой номер или беги на улицу. Я выбрал последнее, вспомнив Калина Калиныча, навестить которого теперь выпал такой удобный случай. Адреса Калина Калиныча у меня не было, но я кстати вспомнил его рассказ о строившейся под его надзором новой церкви и решил идти туда.

Нагорная улица одним концом своим подходила к самому пруду, образуя большой рынок, по-заводски — «базар». Отсюда я увидел на противоположной стороне пруда, на небольшом возвышении, строящуюся церковь, покрытую доверху лесами, по которым,

как муравьи, ползли рабочие взад и вперед. Пройдя длинную заводскую плотину и миновав громадную площадь, с угольными валами и бесконечными поленницами дров, я начал подыматься к возвышению, на котором строилась церковь. За паутиной лесов трудно было разглядеть все детали этого храма свободы, но по форме уже выведенного купола и по фигуре высокой колокольни можно было вперед сказать, что это была церковь самой обыкновенной формы неуклюжего корабля, по образцу которой выстроены почти все храмы по широкому лицу земли русской и дальше которой не поднимались мечты Калина Калиныча и о. Нектария. Войдя в черту дощатой ограды, я спросил первого попавшегося рабочего, где мне найти Калина Калиныча.

— Он в купполе, — бойко отвечал разбитной вятский каменщик.

Пришлось подниматься по сколоченным на живую нитку переходам в самый «купол», но делать нечего, — не идти же назад в «Магнит», чтобы снова слушать сморкание и кашель моего врага-соседа. Благополучно минуя первый этаж церкви и осторожно обойдя

попадавшихся рабочих с тяжелыми ношами кирпича, извести и песку, я, наконец, добрался до «кунпола», где действительно и нашел Калина Калиныча. Старик обрадовался мне, как родному, и чуть не бросился меня обнимать, так что я даже был смущен до некоторой степени детскою радостью этого «простеца».

— Ах, батюшка, да как же это вы-с, можно сказать, вот досюда... уважили-с!.. — говорил Калин Калиныч, указывая своей коротенькой ручкой на свою шею, обмотанную шарфом, хотя стояли еще последние числа августа и было очень тепло. — Вот-с, господь привел, и кунпол вывели по грехам нашим-с... Изволите видеть, какая махинища-с!..

Я похвалил постройку. Старик как-то растерялся и смущенно залепетал:

— Да, да-с, все ругают-с, все подсчитывают-с, а вы — посторонний-с... И отец Нектарий говорили недавно, чтобы как ни на есть еще потерпеть, потому дело к концу подходит... Не для себя трудимся, да-с... А я сейчас домой собрался, — вот и отлично-с... Мы и чайку попьем и покалякаем-с! Очинно вами

благодарен, что не забыли старика...

Я присел на доску и просил Калина Калиныча не торопиться; но старику не сиделось на месте: он пропал на несколько времени в амбразуре громадного окна, кубарем покатился по лесам вниз, через минуту снова спускался уже откуда-то сверху, по доске, гнувшейся под его тяжестью.

— Как можно-с, как можно-с? — бормотал старик, засовывая в карман засаленную тетрадку. — И днюем, и ночуем здесь... Как же можно-с: бывает и свинье праздник, можно сказать-с... Как же не торопиться-с!..

Через четверть часа мы уже шли по одной из широких заводских улиц по направлению к руднику. Калин Калиныч не переставал говорить всю дорогу, по временам забегая немного вперед и заглядывая мне в глаза.

— А вы к нам на дело Гвоздева-с? — спрашивал он, усиленно семеня своими коротенькими ножками. — Преказусное дело-с... Одних свидетелей человек полсотни вызвали, адвоката из столицы выписали-с... Какой-то Праведный... Ей-богу-с! Фамилия такая-с: Праведный...

С грохотом прокатившаяся мимо пролетка заставила Калина Калиныча снять свой картуз и низко поклониться; я едва успел рассмотреть плотного седого старика с вросшею толстой головой в плечи и высокого, красивого мужчину лет под пятьдесят с кудрявыми волосами. Отличная серая, в яблоках, лошадь неслась вихрем, и пролетка на лежачих рессорах скоро скрылась из вида.

— Знаете, кто это проехал? — спрашивал Калин Калиныч. — Это Евдоким Игнатьич-с...

— Печенкин?

— Да-с, они самые-с... А с ними Хряпин.

— Это тот Хряпин, из-за которого вышло дело?

— Они самые-с... Только они теперь служат у Евдокима Игнатьича-с и вместе по свидетелям объезжают, значит. А вот мы и дома-с... Милости просим!..

Глава 8

Мы остановились у небольшого деревянного домика в три окна. Калин Калиныч отворил калитку и вежливо пропустил меня, как гостя, вперед. Небольшой запущенный двор, с старыми службами назади, не пред-

ставлял ничего привлекательного; везде сор и «мерзость запустения». Выскочила какая-то хромая собака, повиляла хвостом, посмотрела на нас слезившимися глазами и побежала обратно, под старое крыльцо. Одно окно избушки выходило на двор и было отворено; из него доносились треньканье гитары и женский контральто, напевавший балладу Гете:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит...

Калин Калиныч успел уже взбежать по покосившимся ступенькам своего ветхого крылечка и, приотворив двери в темные сени, ждал меня с сияющей улыбкой. Заметив мой вопросительный взгляд, он поспешил меня успокоить:

— Это Евмения моя балуется-с! Уж извините-с!..

Нагнувшись, мы вошли в низкую, но довольно светлую комнату, разделенную тонкою перегородкой на две половины. Стены были оклеены дешевенькими обоями; мебель была сборная; на стенах висели лубочные ге-

нералы и архиереи, сердито оглядывавшие друг друга; в переднем углу стоял деревянный простой стол; над ним чернели старинные образа и слабо теплилась лампада. На небольшом диванчике, стоявшем у перегородки, лежала с гитарой в руках белокурая девушка. Она даже не повернула головы, когда мы вошли в комнату.

— Вот, Венушка, господь гостя нам прислал-с, — заговорил старик, рекомендуя меня. — Да встань же, Венушка, так нехорошо-с...

Евмения медленно поднялась с своего дивана, несколько раз потянулась, так что у ней хрустнули пальцы, и, кивнув мне головой, как старому знакомому, скрылась за свою перегородку. Одета эта странная девушка была в черное платье, которое облегало ее сухую, невысокую фигурку тощими складками и совсем печально болталось около ног, потому что ношение юбок Евмения считала положительным предрассудком. Слегка подстриженные волосы и широкий кожаный монашеский пояс, перехватывавший довольно тонкую талию Евмении, довершали портрет учи-

тельницы, обладавшей «необнакновенным карахтером».

— А уж вы извините-с меня, старика, — вкрадчиво заговорил Калин Калиныч, пожимая мою руку. — Я оставлю вас на минутку-с, всего на одну минутку-с!.. Наставить самоварчик надо-с... Уж вы извините за наше убожество-с! Венушка, а ты занимай гостя-с, пока я в сенцах самовар наставлю.

— Вот это мило! — послышался из-за перегородки голос Евмении. — Что я тебе за говорильная машина, которую только завести, она и пойдет молоть... Ты привел гостя, так и занимай сам.

— А это ты напрасно такие слова выражаешь, Венушка, — мягко отвечал старик и, подмигнув мне, прибавил: — Они ведь петербургские-с, образованные-с...

Сняв небольшой медный самовар с печи и не переставая улыбаться и подмигивать мне, старик вышел из комнаты. В дверях перегородки появилась Евмения и пытливо, даже нахально, посмотрела мне прямо в глаза.

— Так вы действительно из Петербурга? Были студентом? — спрашивала она, продол-

жая глядеть в упор, а когда я ответил на ее вопрос утвердительно, прибавила: — Идите сюда, в мою комнату, — здесь удобнее.

Я повиновался и, сделав три шага, очутился в крошечной комнатке в одно окно. У наружной стены стояла небольшая железная кроватка, прикрытая белым, безупречной чистоты покрывалом; подле окна помещался письменный стол, заваленный какими-то бумагами, книгами и фотографиями разных знаменитостей политики и литературы. Над кроватью висела этажерка, туго набитая книгами; на полу лежал тоненький ковер, сильно истерзанный «зубами времени». В этой комнате было всего два стула, из которых на один Евмения села сама, а на другой указала мне. Я только теперь хорошенько рассмотрел лицо девушки, на котором резко выделялись большие темно-серые глаза и широкий рот с чувственными губами, сложенными самой природой в какую-то вызывающую улыбку. Само по себе лицо Евмении не было ни особенно красиво, ни особенно безобразно, но в нем чувствовалось что-то особенное, оригинальное, что трудно было определить с пер-

вого раза. Это особенное выражение лежало на лице легкой, едва заметною тенью; а когда Евмения улыбалась, оно переходило в злобную и язвительную улыбку, открывая два ряда блестящих зубов и зажигая глаза зловещим огоньком.

— Венушка, Венушка! — послышался голос Калина Калиныча. — Где у нас угли-то стоят?.. Уф!.. Совсем задохся с этим самоваром, раздувал, раздувал...

— Ах, отстань, пожалуйста: надоел! — сдвинув густые брови, проговорила Евмения. — Гостеприимство одолело, а толку нет самовара поставить.

— Вот как ты отвечаешь отцу-то! — заговорил Калин Калиныч, выставляя из-за перегородки свою круглую, как арбуз, голову. — А разве барышни принимают гостей в спальнях?.. Разе это порядок?

— У меня кабинет, а не спальня! — резко отвечала Евмения. — Ты вот ступай к самовару-то, — лучше будет.

Голова Калина Калиныча исчезла, а Евмения закатилась неудержимым смехом, откинувшись на спинку стула и вздрагивая всем

своим маленьким телом. Нахохотавшись до слез и закусив нижнюю губу, она несколько времени смотрела на конец своей ботинки, а потом заговорила:

— Вот подите, растолкуйте старику, что я совсем не барышня и совсем не нуждаюсь в соответствующем этикете. Ха-ха-ха!.. Вы не знаете, над чем я так глупо хохочу? Есть здесь один мировой судья, Заверткин, да еще судебный следователь, какой-то хохол шести футов роста и глупый, как индюк... Вот эта почтенная компания и ввались в одно прекрасное утро в нашу избушку в гости... Дело было вечером, гости засиделись и порешили даже остаться у нас совсем... Конечно, пьяные были, лыка не вязали, — следовало бы просто выпроводить их в шею, и делу конец! Так нужно было видеть моего папеньку, как он защищал меня... Ха-ха-ха... Этот шестифутовый хохол завалился на мою постель и заснул... Что делать? Я, конечно, сейчас же ушла к подруге и провела там ночь, а папенька — в слезы: главное, что скажут про нас, что у нас Заверткин с хохлом выспались... Вот подите со стариком, с этим воплощением все-

возможных предрассудков! Точно и без того не скажут, и точно я нуждаюсь в том, что будут обо мне говорить...

Пока Калин Калиныч возился около самовара, Евмения успела закидать меня тысячью вопросов, на которые я едва успевал отвечать. Этот разговор вертелся главным образом около Петербурга и студентов, этих двух магических слов, при одном звуке которых у Евмении загорались глаза каждый раз, и она начинала тяжело дышать.

— Хоть бы одним глазком посмотреть, как люди-то живут на свете, — говорила она, ломая пальцы. — А то все равно сгниешь здесь заживо... Как маятник, ходишь из дому в школу, из школы домой. Ведь есть же счастливцы, которые могут жить иначе! Я иногда просто схожу с ума от тоски и злости, а время бежит...

Я с своей стороны поспешил разочаровать Евмению в ее розовых взглядах на петербургскую жизнь; но мои слова были горохом к стене, — Евмения недоверчиво качала головой.

— Нет, нет, это неправда! — заговорила

она, раскачивая ногой. — Ведь сюда каждое лето приезжают студенты, и вот когда бывает весело-то... А как на нас здешние дамы злятся, что мы, учительницы, отбиваем у них студентов, — кажется, разорвали бы нас! Ездим в горы, катаемся на лодках, танцуем по восьми часов сряду... Даже жаль вспомнить. Спектакли любительские устраиваем...

Заговорив о театре, Евмения вдруг притихла и замолчала, точно ей было больно говорить об этом предмете. Оживленный разговор вдруг прервался, и девушка, пытливо взглянув на меня, проговорила:

— Вот я болтаю с вами всякий вздор, а вы, наверно, думаете: «Вот еще, в Петербург захотела!..» Ведь думаете, да?.. Я и сама иногда также думаю и даже плачу со злости.

— А вот и поспел-с, кипит-с! — докладывал Калин Калиныч, подавая самовар на стол. — Венушка, ты что же посуду-то не приготовила?.. Ах ты, юла этакая, все у тебя одни разговоры на уме-то да разные пустяки-с!

Евмения встала с своего места и, напевая какую-то бойкую песенку себе под нос, начала доставать чайную посуду из маленького

шкафчика. Калин Калиныч был, кажется, особенно в духе и говорил без умолку, только в его разговоре совсем не встречались имена Саввы Евстигнеича и Василисы Мироновны, и он совсем не упоминал о нашей встрече на Балагурихе; зато имя о. Нектария не сходило с языка и служило для старика в одно и то же время и авторитетом, и средством доказательства, и каким-то всевидящим оком. Я понял, что жизнь Калина Калиныча текла именно между этими полюсами — о. Нектарием, с одной стороны, и Василисой Мироновной — с другой.

— А ведь меня притянули в свидетели-с! — говорил Калин Калиныч, добродушно улыбаясь и поглаживая одною рукой свое круглое колено. — Для счету, надо полагать... Гвоздев говорит: «Я представлю десять человек свидетелей», а Печенкин: «А я пятнадцать»; Гвоздев: «Двадцать человек», а Печенкин: «А я тридцать...» Так до полсотни человек и добились-с!.. О-о-хо-хо! Согрешили мы, грешные, перед господом богом-с! Истинно сказать, согрешили... Последние времена пришли: сын восстает на отца, брат на брата. Да вот хоть

мое дело: я — свидетель со стороны Гвоздева, а Венушка — за Печенкина-с... Вот до чего дожили!.. Она будет одно говорить, а я должен говорить другое.

Калин Калиныч тяжело вздохнул и, налив чаю на блюдечко, припал к нему всею физиономией, точно хотел залить в себе горячим кипятком всякое сокрушение сердечное. Было что-то трогательно умилительное в этом человеке, — так сильно он отличался от всего остального мира по своей кротости и полному отсутствию «хватательных и достигательных инстинктов», как выражался один мой хороший знакомый. Как-то хорошо чувствовалось, сидя рядом с ним и слушая его бесконечную болтовню. Крохотная комнатка, добродушное ворчание самовара на столе и Калин Калиныч с его тяжелыми вздохами и отдуванием пара с блюдечка — все это приводило мысль в идиллическое настроение, которое портила только Евмения: время от времени она начинала бегать из угла в угол и фукала как-то носом, точно кошка.

— А Гвоздев чем занимался раньше? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Я Аристарх Прохорыча еще вот эконьким мальчиком помню-с, — заговорил Калин Калиныч, продолжая в одной руке держать на растопыренных пальцах блюдечко с чаем, а другой отряхивая в него крошки сахара после каждого угрызения маленького кусочка. — Он в мальчиках жил у одного купца-с, так его и звали Аристашкой-с, ей-богу-с!.. Смышленый был мальчик-с... Потом он был приказчиком у другого купца, торговал красным товаром-с, а потом бросил это занятие и в кабак сел сидельцем... На моих глазах все это было-с! Только все это было до воли; а как дали нам волю, тут Аристашка-с и пошел в гору-с, — да так пошел, что всех за пояс заткнул. Теперь их, можно сказать, рукой не достанешь; а уж если они чего захотят, конечно, будет по-ихнему, — весь свет произойдут насквозь! Тогда полицию сменили всю, это по делу Печенкина с Хряпиным, а легкое ли это дело — сами, чай, знаете.

Я уж рассказывал вам, что они на золотых приисках нажились, Аристарх-то Прохорыч, — продолжал Калин Калиныч. — А теперь они это занятие совсем бросили, потому

хлопот очинно много; водкой не в пример способнее заниматься, потому — прибыль большая-с... Теперь возьмите один Старый завод: на нем одном что этой водки выйдет; а на других заводах, на приисках... И все Аристарх Прохорыч орудуют, все в ихних руках! Пятьдесят тысяч в месяц, говорят, одного акциза уплачивают... И тонко свое дело знают, потому как сами в заведении сидели и всю эту механику в тонкость произошли. Теперь у нас в заводах хоть взять: заработки большие, — другой в одну выписку, это в две недели, рублей сорок заработает, особливо мастера на катальной, в огненной работе, в горе, — так как же тут не пить?.. И пьют-с, очинно пьют! Парнишки в пятнадцать лет — и те пьют. А про рудники и говорить нечего: там что заработают, то и пропьют, — такое уж обнакновение-с, потому совсем избаловался народ!.. А Аристарх Прохорычу все это на руку-с... Ах, батюшки, да никак они это сами приехали-с!.. Вот легки на помине-с, — залепетал старик, подбегая к окну. — Так и есть-с... И Праведный с ними-с... Венушка, Венушка!.. Ах, батюшки, вот пожаловали неожидан-

но!.. Венушка, Венушка!..

Глава 9

Старик без шапки выбежал на улицу, где остановилась пара наотлет. Из легкой колясочки быстро соскочил мужчина среднего роста с длинною бородой, лет сорока пяти, и вежливо посторонился, давая дорогу громадного роста господину в шелковом цилиндре и золотых очках, еще очень молодому, но чрезвычайно тучному; он едва вылезал из коляски, которая только гнулась и трещала под этим десятипудовым бременем. Первый был сам Гвоздев, а второй, как я начинал догадываться, вероятно, г. Праведный.

— Вот нелегкая несет! Чистая свинья этот Праведный, — ворчала Евмения, нервно ломая пальцы и сдвигая брови.

— Пожалуйте-с, сюда-с!.. Тут потолок-с, Аристарх Прохор… Ах, пожалуйста, нагнитесь сильнее, господин Праведный!.. Не знаю, как вас по имени и отчеству назвать-с, — лепетал Калин Калиныч, отворив дверь пред гостями и почтительно пятясь у них под самым носом.

— Марк Киприяныч, — пробасил г. Праведный

ный, заглядывая в дверь и точно не решаясь войти в избушку.

— Вот и отлично-с. У меня дядю с матерней стороны тоже Марком звали-с. Только он, царство ему небесное, сильно зашибал-с водкой-с... Вы, Марк Киприяныч, вот о полати головкой не стукнитесь... Все собираюсь их как-нибудь убрать-с...

— Ну, здравствуйте, дядюшка! — здоровался Гвоздев с Калин Калинычем и искоса взглядывал в мою сторону.

— Мы, кажется, знакомы? — заговорил Гвоздев своим вкрадчивым, мягким тенором, протягивая мне руку. — Если не ошибаюсь, я имел честь принимать вас в своем доме?

В последний раз я видел Гвоздева лет пять назад, и за эти пять лет он, кажется, нисколько не изменился, по крайней мере не постарел ни на волос, а даже, пожалуй, помолодел и выглядел свежее, только волоса на верхушке головы значительно поредели и образовали довольно почтенную лысину. Широкое лицо Гвоздева, с окладистой длинною бородой, с выдававшимися скулами и широким носом, принадлежало к тому типу русских лиц, кото-

рые Островский в одной из своих комедий называет «опойковыми» и «суздальского письма»; но в этом лице была одна резкая особенность: густые сросшиеся брови и глубоко ввалившиеся небольшие глаза горели напряженно и болезненно и придавали физиономии какой-то неприятный оттенок отчаянной решимости. По своей небольшой фигуре Гвоздев был очень приличен и даже изящен и уж совсем не походил на сидельца, а плавные, мягкие движения придавали ему какое-то особенное чувство собственного достоинства. Когда он начинал говорить, то совсем опускал глаза и старался подвинуться к вам как можно ближе. Эта кошачья вкрадчивая манера и особенно плавные мягкие движения внушали невольное чувство инстинктивного отвращения, точно он все подкрадывался и выжидал только удобного момента, чтобы запустить в вас когти.

— Мой поверенный! — коротко отрекомендовал Гвоздев своего адвоката, который только засопел тяжело носом и вопросительно, нагло навел на меня свои навыкате серые глаза; оплывшая, неестественно красная фи-

зиономия г. Праведного не обещала ничего доброго, и на ней была отпечатана невозможная смесь какого-то странного добродушия и невообразимого нахальства.

— Кандидат прав, Марк Праведный, — рекомендовался защитник Гвоздева, протягивая мне свою медвежью лапищу, впору любому бурлаку.

За перегородкой послышалось сдержанное хихиканье, заставившее Калина Калиныча вспотеть лишний раз; но Гвоздев поспешил вывести старика из неловкого положения, проговорив с мягкою улыбкой:

— А где же, дядюшка, моя сестричка?

— На что вам меня? — отозвалась из-за перегородки Евмения.

— Да вот, Марк Киприяныч желают с вами, сестричка, непременно познакомиться...

— А вы в адвокатах, что ли, у Марка Киприяныча? Я полагаю, что у господина Праведного и свой язык есть.

Калин Калиныч лукаво и многозначительно подмигнул мне: дескать, послушайте-ка, какие дерзкие слова Венушка умеет говорить.

— Марк Киприяныч непременно желает

видеть вас, сестричка, — продолжал Гвоздев, на носках подходя к самой перегородке.

— А если я не желаю видеть господина Неправедного? — бойко отвечала Евмения, и за перегородкой послышался ее вызывающе сдержанный смех.

— Силой милому не быть, Евмения Калиновна, — добродушно забасил Праведный, стараясь тоже заглянуть за перегородку.

— Вы исповедовать опять меня приехали, так я же вперед вам говорю, что ничего вам не скажу: ничего, ничего, ничего!.. Понимаете? У вас есть свой свидетель, так и целуйтесь с ним...

Калин Калиныч благочестиво сложил губы ижицей и покачал своей круглой головой на манер тех фарфоровых китайцев, которых выставляют на окнах чайных магазинов.

— Да мы совсем не по этому делу приехали, сестричка, — уверял Гвоздев, балансируя на своих коротких ножках.

— Я вам такая же сестричка, как ваш Неправедный мне братец, — заговорила Евмения, выскакивая, наконец, из своей засады.

— Имею честь представиться: кандидат прав Марк Праведный! — рекомендовался защитник Гвоздева.

— Ах, довольно, довольно! — говорила девушка, задыхаясь от душившего ее смеха. — Где вы, Аристарх Прохорыч, отыскали такое чудище?

— Из Москвы-с, нарочно выписал, чтобы вам показать, — проговорил Гвоздев с самой утонченной вежливостью, не выпуская руки Евмении. — Даже привез его к вам в дом...

Пока Калин Калиныч суетился около самовара, Праведный без церемонии подвинул стул к Евмении на такое близкое расстояние, что задевал ее своим толстым, как у слона, коленом; а Гвоздев опять обратился ко мне:

— А вы, вероятно, приехали на суд, да?.. Слушать, как будут меня судить?..

Тяжело вздохнув и опустив глаза, он заговорил взволнованным голосом:

— Да, да, вот до чего дожил, до какого позора! А все из-за чего? Из-за того, что хотел помочь человеку: тонул — топор сулил, а вытащил — топорища жаль... А я думаю так, — заговорил еще тише Гвоздев, придвигаясь ко

мне ближе, — я думаю так: отчего же и не претерпеть за правду? Ведь вот будет суд, будут свидетели, — все будет видно как на ладони, всю подноготную выворотят; а если я ни в чем не виноват, кому будет стыдно, как вы полагаете?.. И я совсем не жалуюсь на Евдокима Игнатьича, потому что он, можно так выразиться, действует совсем в ослеплении... Что же? — я не ропщу, я даже рад, что все это дело дойдет до суда и мне дадут законную возможность восстановить свое доброе имя... Ведь они какие слухи про меня распускают, стыдно слушать... Ведь можно, конечно, обмануть одного человека, двух, наконец, трех, а ведь тут будет пятьдесят человек одних свидетелей, — им всем не заткнешь рта. А суд?.. Тут одних юристов человек пятнадцать будет, — все разберут. Все люди образованные, развитые, законы знают, как свои пять пальцев, — от них не увернешься... Это не то, что наш брат мужик, человек темный: куда ведут, туда и идешь, — что сказали, тому и веришь. Не так ли, дядюшка?

— А ведь действительно-с, Аристарх Прохорыч, — умиленно согласился старик, с ка-

ким-то благоговением заглядывая в рот «племянничка», откуда вылетали слова самой мудрости. — Я так полагаю-с, по своему глупому разуму, что Евдоким Игнатьич действительно обижают вас в ослеплении-с...

— Да еще как, дядюшка!.. Вы сами посудите, какую я теперь муку принимаю из-за каких-нибудь тридцати тысяч... Это из-за своего-то капитала я должен мучиться все равно как в аду... Ну, есть ли тут какой-нибудь смысл, дядюшка?

— Истинная ваша правда-с, Аристарх Прохорыч, — говорил со смирением Калин Калиныч, который в присутствии Гвоздева чувствовал себя, кажется, совсем уничтоженным. — А вот чайку-с, Аристарх Прохорыч?

— Отчего же, можно и чайку, дядюшка, — соглашался Гвоздев.

Праведный во время нашего разговора, кажется, успел обделать в исправности все, за чем приезжал, — по крайней мере по смущенному лицу Евмении и по ее опущенным глазам можно было прочитать довольно ясно: «Я — ваша; делайте со мной, что хотите». Разговор с Праведным, приправленный пи-

кантными анекдотами и bon mot[178], привел Евмению в какое-то опьянение, от которого она не могла проснуться; время от времени она вся вздрагивала и заливалась своим неудержимым заразительным смехом, делая Праведному глазки. Калин Калиныч одним ухом тоже вслушивался в этот разговор и пришел от него в такой восторг, что, кажется, совсем позабыл о том, что его Евмения — барышня и что она сидит чуть не на коленях у Праведного. Старик усердно утирал платком свое вспотевшее лицо и, задыхаясь от смеха, шептал одну и ту же фразу: «Вот, можно сказать, уморили-с, с первого разу уморили-с!»

— Марк Киприяныч, стаканчик чайку-с? — предлагал старик.

Праведный вместо ответа продекламировал из «Коробейников» Некрасова четверостишие:

Ах ты, зелие кабашное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.

— И впрямь: бродим сами не свои, — согласился Калин Калиныч. — Откуда это вы, Марк

Киприяныч, так складно говорить только научились?

— Ученье — свет, почтеннейший Калин Калиныч! — скромно отвечал Праведный, полузакрывая свои бесстыжие глаза.

— Стаканчик чайку-с прикажете-с?

— Отчего же и не побаловаться китайской травкой, почтеннейший Калин Калиныч! Благодарствуйте.

— И вы будете уверять меня, что были студентом? — спрашивала Евмения Праведного, кокетливо улыбаясь и делая глазки.

— Даже самым убогим студентом был, — уверял Праведный, выпивая уже второй стакан с замечательным аппетитом. — Да, да... Был беднее самого Иова в дни его несчастия, и представьте себе, какой однажды вышел со мной преказусный случай. Жили мы, трое студентов, на Петербургской стороне, на Малой Дворянской улице, — и как это случилось, право, теперь не умею сказать, — только в одно прекрасное утро у нас на троих осталось из всей одежды всего-навсе только старые калоши, поповский подрясник и старая поповская шляпа... Даже самых необходимей-

ших принадлежностей мужского туалета недоставало, — уж извините, Евмения Калиновна, за мою откровенность! Представьте себе, что происходило, когда одному из нас нужно было куда-нибудь выйти из дому... Но это еще ничего: выходили обыкновенно по вечерам, а история в том, что у меня была невеста, девушка из очень порядочного семейства, которая, не видя меня долго, понятно, очень скучала о моей особе и в один прекрасный вечер вздумала мне сделать небольшой сюрприз: отыскала мою квартиру и явилась, так сказать, на крыльях любви... Представьте теперь мое положение, господа!

— Ах, довольно, довольно! — стонала Евмения, хватаясь за бока. — Довольно!.. У-мо-рили...

— Нет, уж позвольте досказать, — настаивал Праведный, раскуривая сигару. — Вы ничего не имеете против моей сигары, почтеннейший Калин Калиныч?

— Нет-с, помилуйте-с, — лепетал старик. — Я ведь православный-с...

— Ну, дядюшка, есть грех, немного прикержачиваете[179], — мягко шутил Гвоздев.

— Ах, Аристарх Прохорыч, вам, ей-богу-с, грешно-с надо мной смеяться...

— Ну, дядюшка, не обижайтесь, я пошутил, — успокаивал Гвоздев огорченного Калина Калиныча.

— Господа, позвольте же мне анекдот-то докончить, — лениво заметил Праведный, попыхивая синим дымком дорогой сигары. — Согласитесь, господа, что моя невеста все-таки была женщина.

— О... ха-ха-ха! — со слезами на глазах хохотала Евмения. — Да, конечно, не мужчина же...

— Нет, я не то хотел сказать, — поправлялся Праведный. — Я хотел высказать ту мысль, что моя невеста, как женщина, конечно, была немного ревнива и могла заподозрить меня, по меньшей мере, в том, что у меня в комнате сидит какая-нибудь соперница и что я именно поэтому не отворяю ей двери... Кажется, ясно я выражаюсь? Ну-с, как вы думаете вышел я из этого чертовски затруднительного положения?

— Ах, довольно, довольно, Праведный, — кричала Евмения, кокетливо делая рукой та-

кие движения, как будто отмахиваясь от комаров. — Понятно, что было дальше...

— Нет, уж позвольте докончить, Евмения Калиновна! — упорно настаивал Праведный. — Видите ли, у нас полкомнаты занимала братская кровать, на которой мы все вместе спали, вот я на нее и положил моих друзей, прикрыл их для приличия одеялом, а сам надел калоши и подрясник... Теперь представьте себе такую картину: на кровати из-под одеяла выставляются головы моих друзей, я стою посреди комнаты в поповском подряснике, а в отворенную дверь с изумлением смотрит моя невеста... Понятное дело, что все разрешилось смехом, и моя невеста только лишний раз убедилась, что я невинен, как сорок тысяч младенцев, так как мои товарищи меньше всего походили на женщину: у одного гусарские усы, у другого борода, как у Аарона.

В комнате Калина Калиныча несколько минут стоял заразительный смех: смеялся Гвоздев, с достоинством поглаживая свою бороду, смеялся до слез Калин Калиныч, схватившись за бока и порываясь выскочить из-

за стола, а Евмения, закатив глаза, только тяжело дышала, как загнанная лошадь.

— Ну, не желала бы я быть на месте вашей невесты, господин Праведный, — заговорила Евмения, когда общий припадок смеха немного прошел. — Хоть вы и оказались невиннее сорока тысяч младенцев, но все-таки... Где вы, Аристарх Прохорыч, откопали такого адвоката?

— Москва — очень обширный город, — скромно отвечал Гвоздев. — Там умных людей все равно, как у нас дров...

Посидев еще немного и поговорив о каких-то пустяках, Гвоздев поднялся из-за стола и, обращаясь к Калину Калинычу, проговорил:

— Ну-с, дядюшка, сидят-сидят да и домой ходят... До приятнейшего свидания!..

Праведный долго держал в своих красных лапищах руку Евмении и довольно фамильярно шепнул ей на ухо что-то такое, от чего даже Евмения вспыхнула вся до ушей, а Калин Калиныч строго сложил свои губы ижицей. Простившись, гости вышли в сопровождении Калина Калиныча. Он все время стоял

у ворот, пока Праведный влезал в экипаж. Усаживаясь рядом с Праведным, Гвоздев вопросительно посмотрел на своего адвоката.

— Каши маслом не испортишь, — многозначительно проговорил Праведный, не зная, куда деваться с своим ужаснейшим животом, упиравшимся ему в колени.

Когда лошади тронулись, Праведный не менее многозначительно указывал пальцем на свой лоб, кивая головой в сторону избушки Калина Калиныча. Евмения сейчас же скрылась за перегородкой, а вошедший Калин Калиныч был очень встревожен: обычное неизменное добродушное настроение, казалось, совсем оставило старика.

— Приехали и уехали, — думал он вслух, позабыв о моем присутствии. — Венушка, о чем с тобой шептался этот Праведный?

— Анекдоты, родитель, рассказывал, — отозвалась Евмения усталым голосом из-за своей перегородки.

Я скоро простился с Калином Калинычем. Старик вышел провожать меня на крыльцо и, пожимая мою руку, заговорил:

— Ведь вот какой у меня карахтер сумни-

тельный: ночь не буду спать, а все буду думать, зачем приезжал этот Праведный... Они, может, и с добром приезжали ко мне, а я все буду сумлеваться, потому больно ноне народ мудреный стал-с. Вот хоть Аристарх Прохорыч: ведь уж знаю-с, что он виноват, во всем как есть виноват-с, а вот поди со мной, совесть уж такая подлая, — как заговорил он давеча жалобные слова, так вот у меня слезы и стоят в горле... Ей-богу-с... О-о-хо-хо! Горе душам нашим. Заходите напредки-то, милости просим! А я сейчас схожу к отцу Нектарию, — надо будет поговорить с ним, а то уж очень сумнительно-с.

Глава 10

Вечером в клубе слышалась музыка и говор. От нечего делать я пошел в общую залу, чтобы посмотреть на заводскую публику. Помещение клуба состояло всего из четырех комнат, меблированных с трактирной роскошью. Около стен неизменные диванчики, покрытые темно-красным трипом, венская мебель, затасканные драпировки на окнах, захватанные двери и бронзовая люстра в общей зале.

Главную массу публики притягивала к себе карточная комната, а затем буфет. Около девяти часов обычная клубная публика, кажется, была в полном сборе; явились скучающие дамы и кавалеры; последние прежде всего летели, для подкрепления сил, в буфет. Музыка пиликала какую-то чепуху, под которую вяло толклось в общей зале несколько пар.

По дороге в буфет я неожиданно встретил самого Федора Иваныча Заверткина, который тащил под руку Пальцева и издали кричал мне:

— Вот так пьет!.. Отроду ничего подобного не видал: как воду пьет!

— Кто и что пьет? — спрашивал я, не понимая Заверткина.

— Ах, господи!.. Да все он же, Праведный, пьет... Представьте себе такую картину: он без бутылки водки не садится завтракать и подсидит ее один на один, за обедом выпивает таким же образом другую, а вечером еще шампанское душит, и ни в одном глазу... Понимаете: ни в одном глазу?! Это просто какой-то феномен... Да ведь вы только поймите: бутылку за завтраком, бутылку за обедом, ве-

чером шампанское... Да, да, это решительно феномен. В спирт, прямо в спирт бы его следовало посадить, да ведь, каналья, спирт-то весь выпьет... Феномен, решительно феномен!..

Эти два друга представляли и вместе и порознь нечто очень замечательное: Федя Заверткин был тонок, вихляст и высок, горбился и раскачивался на ходу и постоянно вздергивал голову, как взнузданная лошадь; Пальцев, наоборот, был небольшого роста, некрасиво скроен, да плотно сшит, и выглядел кочнем, а когда шел, то имел привычку сильно размахивать руками и слегка переваливал на своих коротеньких ножках, точно откормленный селезень.

Физиономия Заверткина носила на себе ясные следы непроходимой глупости, пошлости и задора; его небольшие слезившиеся серые глазки смотрели нахально до мерзости, а по сморщенным губам ползала отвратительная улыбка, какою смеются только люди глубоко и безнадежно развратные. Круглое румяное лицо Пальцева с рыжими щетинистыми усами было некрасиво, но приятно своим умным выражением; особенно хороши были его на-

смешливые глазки, юлившие под густыми рыжими бровями, как пара мышей.

Пальцев вообще был очень умный человек, но его губил один недостаток: очень добрый и простой человек по душе, он имел удивительную способность врать, — врать до того правдоподобно, что вводил в невольное заблуждение самых осторожных людей, хотя все заранее знали, что верить Пальцеву нельзя. Как добряк и чудак, Пальцев пользовался репутацией доброго малого, которому многое сходило с рук, хотя он своими шуточками часто высказывал горькую правду прямо в глаза.

Поговорив немного с нами, Федя Заверткин неудержимо полетел дальше, вздергивая плечами и вытягивая длинную шею вперед; физиономия его дышала счастьем и довольством, и он, ероша свою козлиную бородку, кричал всем встречным: «Феномен, феномен... Решительно феномен!»

— Пустой колос голову кверху носит, ангел мой, — лукаво заговорил Пальцев, подмигивая в сторону Заверткина. — Совсем на чердаке-то пусто...

Тут Пальцев соврал что-то совершенно невероятное и побрел в буфет. Музыка продолжала пилить какую-то невозможную польку местного произведения под довольно громким названием «землетрясение». Нетанцующие дамы шпалерой поместились на бархатных диванчиках или парами бродили из комнаты в комнату с безнадежным выражением лиц; танцующая часть прекрасного пола обмахивалась кокетливо веерами и очень походила на тех «живых стерлядей», которые плавают в трактирных аквариумах, с тупым отчаянием стукаясь о толстые стекла. Без крайнего сожаления нельзя было смотреть на этот «букет из полевых цветов», как выразился Пальцев о старозаводских дамах, козырем выступая под руку с одним из таких полевых цветов, который был чуть не вдвое выше своего кавалера и имел большое сходство с каланчой.

— Вы слышали? — говорила толстая дама другой, тощей, как щепка. — Согласитесь, ведь это ужасно, ужасно!..

Разговор шел о предстоящем процессе.

— Говорят, она подкуплена, — отвечала да-

ма-щепка.

— Да, да... Стриженые волосы, пенсне на носу, учительница и вдруг подкуплена!.. Как это вам понравится? Я думаю, что нынче уж нигилизм не в моде, так вон пошли какие вещи...

— Это ужасно, — шептала дама-щепка, покачивая своей маленькой головой. — Ведь у ней есть отец-старик... Смешной такой, ню очень честный старик. Хоть бы она его пожалела: ведь это убьет его!..

Дама-геркулес только махнула рукой.

Этот букет полевых цветов скоро зашевелился во всем своем составе и зашумел, как листья на осине, когда в общей вале появилась Евмения с своими стрижеными волосами, тощими складками платья и пенсне на носу. Все многозначительно улыбались и печально кивали головой, но Евмения, по-видимому, привыкла к подобного рода сценам и шла с замечательным равнодушием сквозь строй косых взглядов, презрительных улыбок и обидных пожиманий плеч. Она кого-то искала глазами и, проходя мимо меня, спросила:

— Вы не видали Праведного?

— Нет. Его, кажется, нет здесь.

Евмения пошла дальше, по направлению к буфету, и толстая дама опять принялась шептать своей соседке настолько громко, что мне было слышно каждое слово.

— Она сначала жила с одним учителем и бросила его, потом связалась с писарем, потом с Гвоздевым...

— Это ужасно, ужасно! — шептала тощая дама, едва шевеля поблекшими губами.

Это было действительно ужасно, если только все это была правда. Мне хотя и не было никакого дела до Евмении, но все-таки было жаль и вместе обидно не столько за эту странную белокурую девушку, сколько за несчастного Калина Калиныча, которого общественное мнение казнило так безжалостно. Как бы вознегодовал старик, услышав подобные отзывы о своей Венушке!.. А Евмения, обойдя все комнаты, снова подошла ко мне и села рядом на стул; взглянув на меня, она, кажется, догадалась о характере моих мыслей и желчно заговорила:

— Вы, вероятно, довольно наслушались на

мой счет здесь, да?.. О, они все точат на мне свои языки... Я всем им — бельмо на глазу. Вот посмотрите на эту толстую и на эту тощую: они от одной скуки рады человека живьем съесть. Эта сухонькая исправно дует своего благоверного башмаком прямо по зеркалу души, а толстая имеет свою довольно пикантную историю, только не стоит говорить, чтобы не быть похожей на них... Знаете, я видела сейчас Пальцева, и он меня уверяет, что Праведный сошел с ума и его приковали на цепь... Ха-ха-ха! Вот уж у кого в зубах не завязнет... Однако Праведный — порядочная свинья: обещал сюда прийти и надул. Посмотрите, вон идет жена Заверткина... Не правда ли, какая красивая женщина? А рост какой, а цвет лица? Хоть сейчас на сцену.

Жена Заверткина действительно была хороша: высокая, полная брюнетка с темными глазами и ленивыми движениями, она резко выделялась из всей толпы своей статной, красивою фигурой. Она шла в сопровождении какого-то довольно плюгавого молодого человека с небольшой темной бородкой, длинным носом и зеленоватыми глазами.

— А это, знаете, кто с ней? — спрашивала Евмения меня. — Это — директор нашего старозаводского технического училища... Какой-то грек, Димитраки по фамилии. Этот Димитраки получает ни больше, ни меньше как пять тысяч в год. А за что? Только за то, что умеет кланяться заводским управляющим... А вот подите вы, человек всего только три года как кончил курс в Петербургском университете и теперь загребает деньги совершенно даром, губит целое училище, слывет у нас передовым человеком. Вы представьте себе только, этот Димитраки получит в год, ничего не делая, столько, сколько я должна буду зарабатывать целых семнадцать лет, считая по триста рублей в год, а помощник учителя или помощница, получающие двенадцать рублей в месяц, должны работать целую жизнь. Где только таких берут... Ведь он в училище забрал на себя все предметы и ровно ничего не делает, в класс даже не ходит, а все пьянствует с Федькой Заверткиным. Не правда ли, хороши гуси? Какая здесь отчаянная публика!.. Вон земский доктор: посмотрите, пожалуйста, ведь это целый Олимп, и сам Зевс ему в под-

метки не годится... А вон еще лучше экземпляр, — пожалуйста, обратите на него все свое внимание: это наш министр народного просвещения. Да, целый министр...

«Министр народного просвещения» в это время с важностью проходил мимо нас вместе с земским доктором. Это походило на триумфальное шествие каких-то двух неведомых божеств или на вступление счастливого победителя в завоеванную провинцию. «Министр» был высокого роста, худой и белокурый человек, лет сорока пяти, с выцветшим деревянным лицом и заложенными, по-министерски, руками за спину. Доктор, черноволосый мужчина с длинным, как огурец, лицом и маленькими глазками, ковырял пальцем в носу и смотрел кругом каким-то убийственно равнодушным взглядом.

— Посмотрите же вы, пожалуйста, на Митрошку нашего! — шептала Евмения, указывая глазами на «Министра». — Из волостных писарей попал в гласные, потом избран был членом земской управы и теперь заведует всеми школами в уезде. Под его ведением находится семьдесят учительниц и столько же

учителей; он всем нам говорит «ты» и заставляет дожидаться в передней по нескольку часов. Раз мне нужно было получить жалованье, и я довольно прозрачно намекнула ему на его министерские замашки, а он мне: «Хлее-б за-за бррю-хо-ом нне ххо-одит!» — «Извините, говорю, я не знаю, что вы — хлеб, а мы — брюхо». А вы бы посмотрели, как он себя держит в школе, какие нотации читает всем, и главное, придирается к преподаванию, а сам своего имени не умеет подписать. Вместо Митрофан Белохвост пишет Мирофан Белофост... Скотина ужаснейшая и вообще и в подробностях.

— Что же председатель управы смотрит?

— У нас председатель — отличный человек и в такие мелочи не вмешивается. Он — музыкант и играет, кажется, на всех инструментах, какие только существуют. Очень образованный и очень честный человек, но музыка загубила... У нас уж другой такой председатель-музыкант; а пока они играют, Митрошка всем и орудует.

— А я вас давно ищу, Евмения Калиновна, — говорил Праведный, вваливаясь из бо-

ковой комнаты.

— А я вас давно жду, Марк Киприяныч, — бойко отвечала Евмения. — Вероятно, нагружались в буфете… для безопасности?

— По человеческой слабости испиваем сию горькую чашу…

Праведный подал руку Евмении, извинился предо мной, что некоторым образом лишает меня дамы, и эта оригинальная пара направилась к дверям в сад. Евмения гордо откинула свою белокурую головку назад и блестящими глазами смотрела на своего кавалера, который, вероятно, опять рассказывал анекдоты, потому что девушка громко смеялась и недоверчиво качала головой.

Глава 11

Старозаводская jeunesse doree[180] в полном своем составе находилась в буфете, где происходили оживленные разговоры, сопровождаемые самыми обильными возлияниями. Кроме Пальцева, Заверткина, Димитраки, «Министра» и земского доктора, тут присутствовал и сам Печенкин, сопровождаемый, как адъютантами, бывшим исправником Хрящиным и своим поверенным. Среднего роста,

приземистый и широкоплечий, с толстою головой и опухшим красным лицом, на котором резко выделялись хитрые маленькие глазки и седая борода, Печенкин был коренным типом русского обстоятельного купечества с сильной азиатскою закваской.

Хряпин — очень высокий и когда-то очень красивый человек, с большой кудрявой головой, могучею грудью и тяжелою рукой, от которой, как говорила молва, много пошло туда, где нет ни печалей, ни воздыханий. Около стола, за которым сидел Печенкин, собралась почти вся публика, слушавшая что-то, что рассказывал сам старик, распивая и угощая всех шампанским.

— На той неделе поехали мы с «Мамочкой» в Загорск, — рассказывал старик, кивая головой на Хряпина, которого он почему-то называл «Мамочкой». — Город большой, мы и загуляли, а вечером — в трактир «Плевну». Ну, там арфянки, всякое прочее. Спели нам, пожинали, побезобразничали, а все скучно... Я и говорю: ««Мамочка», скучно... Устрой, говорю, «Мамочка», какое-нибудь безобразие». А он молчит, а потом как сгребет салфетку да об

пол всю эту музыку, арфянки бежать, а «Мамочка» поймал хозяина «Плевны», завязал его в салфетку да под стол и затолкал. Арфянки визжат, хозяин под столом орет караул, а мы с «Мамочкой» давай бог ноги... О-ох-хо, согрешили мы, грешные!

«Мамочка» сидел как ни в чем не бывало, jeunesse doree хохотала до слез, а подгулявший Заверткин от восторга даже полез целоваться с «Мамочкой».

Появившийся Праведный привалил, конечно, прямо к буфету, где около этого столичного светила сейчас же собрался кружок, ожидавший тех удивительных анекдотов, которые умел рассказывать только один Праведный. Оставленный всеми, Печенкин вылил две оставшихся бутылки вина на салфетку и побрел в сопровождении своих адъютантов в общую залу, где происходили танцы. Заверткин заглядывал прямо в рот своему идолу и глупо хохотал, как человек, которому щекотят подошвы; Пальцев поместился рядом с Праведным и, подмигивая одним глазом, говорил:

— А ведь, ангел мой, отлично вам живется

на свете: сколько одного вина, ангел мой, выпьете. Вот про нас одних разговоров сколько: становой, говорят, черту брат, и еще прибавят, ангел мой, такое что-нибудь, что сквозь землю провалиться... Всякий на тебя пальцем указывает: становой, с живого и мертвого дерет!..

— Ну, и у нас это бывает, — хладнокровно отвечал Праведный, выпивая свою вечернюю порцию водки. — Желал бы я вас поставить на мое место... Мне недавно, например, пришлось защищать одного субъекта, который обвинялся в убийстве. Дело в том, что двое крестьян убили третьего, который умер дома от пролома головы, и мне нужно было доказать только то, что мой доверитель в момент убийства находился на другом конце деревни, чем убитый...

В этот момент со стороны танцевальной залы послышался какой-то шум, крик и визг; все бросились из буфета.

— Ах, это опять Печенкин бушует, ангел мой, — озабоченно говорил Пальцев, направляясь на шум вместе с другими.

Скоро вся публика собралась в общей зале,

где кучка дам боязливо столпилась в одном углу, а мужчины стеной окружили небольшую деревянную эстраду, на которой помещался оркестр.

— Руськую!.. Я говорю: руськую! — кричал Печенкин, стуча кулаком по столу. — Всех вас одним узлом завяжу... Руськую!..

— Нельзя-с, мы играем по расписанию-с, — вежливо отвечал капельмейстер.

— Ах, ангел мой, так нельзя! Нельзя, ангел мой! — кричал Пальцев, продираясь сквозь толпу к Печенкину. — Здесь общественное место, ангел мой, дамы...

— А мне наплевать на ваших дам! — кричал старик. — Я весь бал за себя переведу... Сколько стоит все: получай и гуляй в мою голову, почтенная публика. Руськую!..

Пальцев немного пошептался с распорядителем и махнул музыкантам рукой; музыка грянула «Камаринскую», публика расступилась, и неистовый старик начал откалывать свою «руськую» так, что седые волосы раззевались на его голове да летели по воздуху длинные полы сюртука. Окончив пляску, Печенкин побрел опять в буфет. «Мамочка», как

ручной медведь, лениво поплелся за стариком, покачиваясь на каблуках и расправляя свои могучие плечи.

Публика, кажется, привыкла к подобным сценам, потому что сейчас же музыка заиграла прерванную кадриль, и дамы принялись дотанцовывать четвертую фигуру. Димитраки танцевал с женой Заверткина, и по его наглой, улыбавшейся физиономии было видно, что он говорил своей даме какие-нибудь пошлости. Я хотел отправиться в свой номер, как в углу одной комнаты заметил Евмению, которая сидела в каком-то полузабытьи и не слыхала, кажется, ничего, что происходило вокруг нее. Я назвал ее по имени.

— Ах, это вы!.. Как вы испугали меня, — заговорила девушка, точно обрадовавшись моему появлению. — Что вы стоите? Садитесь... Вы, вероятно, удивились, что я могу задумываться, да?

Евмения улыбнулась печальной, больной улыбкой, и мне показалось, что на ее больших глазах блеснули слезы.

— Вы слышали, как бушевал Печенкин?

— Когда?

— Да вот сейчас только.

— Ах, да... Нет, я не слыхала, но ведь это слишком обыкновенная история, и нас этим не удивишь, — усталым голосом говорила Евмения, нервно ощипывая какую-то ленточку на своем платье. — Ведь это же скучно, наконец... Скучно, скучно, скучно!.. Иногда думаешь про себя, — продолжала Евмения, опустив глаза, — стоит ли жить на свете... Ведь все равно как в берлоге живешь!.. Вот бы на сцену поступить...

Девушка искоса взглянула на меня и продолжала уже взволнованным голосом:

— Можно бы полжизни отдать, чтобы другую половину прожить по-человечески... А как взглянешь на себя в зеркало, будто холодной водой и обольет: и мала, и суха, и безобразна... Такое отчаяние нападет, что не глядел бы на свет! Ах, если бы мне рост, — понимаете, всего бы несколько вершков прибавить росту, — прямо бы на сцену поступила... Когда я бываю в театре, со мной просто дурно делается. И ведь чувствую, что сыграла бы, очень хорошо сыграла, особенно в драме, — знаете... в «Грозе» Островского ту сцену, где

Катерина мечтает, и, потом, когда она начинает сходить с ума. Вот что я сыграла бы, если бы не проклятый мой рост!

Я, как умел, разуверял Евмению, что недостаток роста на сцене делается незаметным благодаря длинным шлейфам и большим каблукам, но что для сцены нужно очень серьезное образование и специальная подготовка, которой недостает даже лучшим русским актрисам.

— Да разве можно сделать из меня какой угодно подготовкой купчиху Катерину, бабу — кровь с молоком? — говорила Евмения, с презрением оглядывая себя.

— Ведь есть роли и кроме Катерины...

— Да, да... И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?

Евмения не слушала меня. Она думала о чем-то другом и, по своему обыкновению, неожиданно захохотала.

— Вот, я думаю, вы потешаетесь-то надо мной, — говорила девушка, ломая пальцы: — ведь прямая провинциальная дура, а еще захотела на сцену... Ха-ха-ха!.. Дочь Калина Калиныча и — на сцене: ведь это так же невоз-

можно, как жареный лед, да?.. Вы смеетесь надо мной, как над сумасшедшей, но я ведь нисколько не обижаюсь этим: по Савве и слава... У нас в Старом заводе бывают иногда любительские спектакли, — немного успокоившись, рассказывала Евмения. — Только они без скандала никогда не обходятся. У нас есть здесь немец-управляющий, Штукмахер; он придет на спектакль всегда вместе с Димитраки, и всегда пьянее вина, и начинают ругать актеров вслух всякими словами. Однажды дело дошло до того, что они во время действия бросились на сцену и давай колотить актеров и актрис. Штукмахер тогда сильно избил одного учителя, Младенцева. Впрочем, он уже не в первый раз его колотил: раз, на пожаре, этого же Младенцева Штукмахер до полусмерти избил палкой.

— Что же, Младенцев жаловался?

— Как же... Только ведь жаловаться приходилось Заверткину, а Заверткин всегда оправдывает Штукмахера, потому вместе безобразничают. Младенцев подал на Заверткина жалобу в съезд мировых судей, а съезд отказал, потому что там все благоприятели Заверткин-

на насажены, а Митрошка, «Министр»-то наш, за это Младенцева из учителей в три шеи.

— Ну-с, а публика что смотрит, когда Штукмахер с Димитраки актеров колотят?

— Публика?.. Да ведь они и публику не хуже нас ругают, так уж мы привыкли к этому. В последний раз у нас спектакль был назначен в заводских конюшнях. Устроили сцену, места для публики. Только является Штукмахер, взял да комнату, из которой должны выходить актеры на сцену, и велел запереть, а нам на сцену и пришлось лазить со стороны публики... Ей-богу! А Штукмахер кричит: «А, такие-сякие, пусть лазят, как собаки!..» Однако прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места. — Мне пора домой... Вон адвокат Печенкина высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельница по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, — говорила разбитым голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся на суде.

Я проводил девушку до передней. Она мол-

ча кивнула мне головой и, быстро одевшись в какое-то ветхое пальто, исчезла в дверях. Вернувшись в клуб, я еще долго толкался между остальною публикой, продолжая думать об этом странном маленьком существе, по-видимому сгоравшем от избытка сил.

У меня еще стоял в ушах ее дикий смех, резкая интонация голоса и те печальные ноты, которые прорывались так неожиданно сквозь эту бравировку и отчаянную веселость; в этом странном, злобноподвижном лице учительницы скользило общею тенью что-то недосказанное, что-то, что давило ее и просило выхода. Маленькая комната с полками книг, фотографиями знаменитостей, кипами бумаг и гитарой в углу, затем сцена с Праведным и, наконец, этот разговор в клубе — все это освещало Евмению с совершенно противоположных, ничего не имевших между собой общего сторон: то учительница, считающая верхом блаженства носить стриженые волосы и говорить дерзкие слова; то куртизанка, делающая глазки и кокетничающая с первым встречным; то будущая Рашель... Это были такие противоречия, которые никак не

укладывались в голове.

Этому клубному дню суждено было закончиться крупным скандалом, героями которого явились Заверткин и Димитраки. Еще с самого начала вечера Заверткин заметил шашни Димитраки, но, как истинный европеец и образованный человек, он смолчал; а когда Димитраки, сидевший рядом с женой Заверткина, дошел до непозволительных вольностей, Заверткин уже не мог этого перенести и влепил греку полновесную затрещину. Эти неожиданно обострившиеся отношения быстро перешли в драку, а затем в ужаснейшую свалку, так что недавние друзья, цвет и краса старозаводской jeunesse doree, долго катались по полу, испуская дикие вопли, пока Пальцев не вылил на них три графина холодной воды.

— Нет, Пальцев, ты понимаешь, зачем он с моей женой шашни заводит? — кричал Заверткин, поправляя съехавший на горло жилет.

— Нельзя, ангел мой... Общественное место, ангел мой, — успокаивал Пальцев, стараясь увести расходившегося супруга в буфет.

— Нет, ты скажи, что бы ты сделал, если

бы... если бы твоей жене... а? Жене, а?!.. Ведь я сам видел!..

— Я, ангел мой, на твоем месте выпил бы стакан холодной воды...

Димитраки во время этого разговора успел улизнуть с порядочной царапиной на носу в буфет, где спешил привести в порядок некоторые подробности в своем туалете, — они нуждались в серьезной ремонтировке.

Эта буря в стакане воды так же неожиданно улеглась, как и возникла. Через каких-нибудь полчаса благодаря стараниям Пальцева недавние враги не только помирились, но даже расцеловались и по требованию публики исполнили «Стрелка». Димитраки и в пении хитрил: нет-нет — и сфальшивит; но зато Заверткин был решительно неподражаем. Правда, он пел козлиным голосом и жестоко врал, но зато свое пение сопровождал такими красноречивыми жестами, так уморительно вздрагивал плечами и головой, что вся публика хохотала над ним до упаду. Даже сам «Министр» не избег этого воодушевления, так неожиданно охватившего все общество, и побрел из клуба на свое пепелище, напевая себе

под нос:

О-он им было
То и се, то и с-се,
Н-но напр-расно было все,
Бы-ыло все-се...
Да!

Публика в буфете сильно поредела; оставались только клубные завсегдатаи.

Печенкин давно нагрузился и сидел в буфете, опустив на грудь свою седую буйную голову. Что-то вроде раздумья накатилось на этого неистового сына природы, и трудно было сказать, о чем он думал: вставало ли перед его глазами его прошлое, или заботило его неизвестное будущее, или, может быть, царь-хмель клонил долу эту седую голову. «Мамочка» тоже дремал, потягивая шампанское.

— «Мамочка», а «Мамочка», — тихо говорил Печенкин, не подымая головы. — Скучно, «Мамочка»... Спой, «Мамочка», «Воробышка».

«Мамочка» откашлялся, поправил усы и приятным баритоном запел известную песню:

У воробышка головушка болела,

Да, ах, болела, болела!..

— О-о-хо-хо! Болела, — шептал Печенкин, покачивая своей большой, как пивной котел, головой. — Спасибо, «Мамочка», утешил старика...

На одну ножку он припадает.
Да, ах, все припадает!..

Выслушать знаменитое дело Печенкина с Гвоздевым мне не удалось, потому что оно было отложено за неявкой какого-то очень важного свидетеля.

Глава 12

Осенью я уехал в Петербург, где разные неотложные дела задержали меня года на два. Однажды, во время зимнего сезона, мне случилось быть на любительском спектакле в клубе художников. Бывая в театре, особенно на любительских спектаклях, я никогда не покупаю афиши и совсем не справляюсь ни о названии пьесы, ни о фамилиях актеров, дабы не испортить впечатления разными ожиданиями и предвкушениями. Я выбираю какой-нибудь дальний уголок и стараюсь представить себе, что передо мной проходят

не герои и героини известной пьесы, не известные актеры и актрисы, а развертывается страница за страницей сама жизнь, какой создала ее мать-природа, время и обстоятельства. Если эта иллюзия удается, я совершенно неподвижно просиживаю всю пьесу и ухожу домой в отличном расположении духа, унося в голове большой запас сцен и характеров, наталкивающих мысль на множество новых вопросов и освежающих ее приливом новых сил.

На этот раз публики было немного; когда занавес поднялся, сцена представляла небольшую, бедно меблированную комнату, в которой сидел седой старик, нетерпеливо поглядывавший в окно, ожидая возвращения дочери с уроков. От нечего делать старик мечтал вслух, и в этих старческих мечтах автор вложил живую сердечную нотку, которая невольно подкупала в пользу этого размечтавшегося старика, переносила на его точку зрения и заставляла вместе с ним терпеливо поджидать возвращение дочери.

Но вот знакомый стук в двери, старик с радостным лицом бросается навстречу своей

любимице, которая издали кричит ему веселым молодым голосом, что она хочет есть, как волк. Дверь растворяется, в комнату вбегает девушка, бедно, но прилично одетая, и звонко целует отца. Когда старик уходит в другую комнату, девушка в каком-то изнеможении начинает говорить, и совсем другим голосом, жалуясь на свою неблагодарную деятельность, усталость и скуку. Я сразу узнал в этой девушке Евмению Грехову, которая сильно изменилась в эти два года, но в ней еще осталась та же страстная порывистость, беззаботный смех и быстрые переходы от безумной веселости к печальным мыслям. Это был тот самый голос, который распевал в избушке Калина Калиныча балладу Гете.

Вся прелесть пьесы для меня пропала, и мне осталось только заняться наблюдениями тех перемен, которые произошли в моей случайной знакомой за эти два года. А перемены в ней были громадны: Евмения, кажется, в совершенстве постигла науку, как держать себя, с тем инстинктом женщины, который дает ей какое-то особенное чутье понимать мельчайшие детали новой обстановки и при-

меняться к ним с замечательною быстротой.

В смелых жестах и развязных движениях Евмении виделось слишком много заимствованного из театров Буфф и Михайловского. Она успела перенять у французских актрис все то, чему никогда не научилась бы в Старом заводе. Евмения теперь в совершенстве владела длинным шлейфом и довольно ловко при поворотах откидывала шумевшие юбки ногой. Увы, это были настоящие накрахмаленные юбки, которые Евмения так недавно отрицала с таким самоотвержением.

Вообще вся фигура Евмении под руками ловких модисток сильно изменилась и сделалась выше и полнее. После первого действия послышались аплодисменты, — живая игра Евмении подогрела даже сонную петербургскую публику. Первым действием успех был обеспечен, а по окончании спектакля публика дружно вызывала Евмению несколько раз и в заключение поднесла ей букет. Я видел, с каким сияющим лицом схватила она этот букет, может быть еще первую свою награду на сцене.

— У ней есть огонек, — говорил за мной ка-

кой-то басистый голос. — Правда, что она еще очень молода и не привыкла к сцене, но главное — огонек... У ней есть эта артистическая жилка, есть кровь!.. Немного побольше опытности — и она может пойти далеко. Главное — огонек, все дело в огоньке!

Я оглянулся и сразу узнал г. Праведного, который беседовал с своим соседом; знаменитый адвокат сильно обрюзг и осунулся, а в волосах на голове уже слегка серебрилась седина. Праведный несколько раз принимался аплодировать и покровительственно улыбался, когда Евмения появлялась на авансцене и начинала бойко раскланиваться с публикой. Не оставалось больше сомнения, что Евмения добилась полного успеха, и я нарочно остался в клубе после спектакля, чтобы хоть издали взглянуть на ту метаморфозу, которая произошла в дочери Калина Калиныча. Шаг сделан громадный, и теперь уже он был освещен лучами первого успеха, поэтому мне вдвойне было интересно взглянуть на Евмению, какой она явится не на сцене, а среди публики.

Заняв столик в одной из боковых комнат, я терпеливо ждал появления Евмении; она ско-

ро вышла под руку с каким-то белокурым офицером, одетая по последней моде, со спутанными ногами, волочившимся длинным треном и гордо откинутой назад белокурой головкой. Кто бы мог подумать, что эта изящно одетая актриса, державшая себя так просто и естественно, точно она выросла в этой сфере, — кто бы мог подумать, что это дочь Калина Калиныча, еще так недавно считавшая верхом блаженства носить стриженые волосы и украшать свой нос пенсне.

Евмения несколько раз прошла мимо меня, кокетливо обмахиваясь веером и делая глазки своему кавалеру.

Проходя мимо меня еще раз и мельком взглянув в мою сторону, Евмения быстро выпростала руку от своего кавалера и, шелестя платьем, нерешительно подошла к моему столику.

— Если не ошибаюсь... — заговорила она, прищуривая глаза.

Мне только оставалось подтвердить основательность ее догадки и удостоверить свою личность. Евмения без церемонии поместилась за мой столик, совсем позабыв кавалера

и свои светские манеры.

— Давно ли вы здесь? — спрашивала Евмения, останавливая на моем лице свои серые глаза.

Я в коротких словах рассказал ей незамысловатую историю моего пребывания в Петербурге, и Евмения, предупреждая мой вопрос, заговорила:

— Как же это мы с вами не встречались до сих пор? Это просто удивительно, потому что я, кажется, перебывала по сту раз везде, где можно быть женщине. А помните Старый завод? Вот бы удивились все, если б увидели меня здесь... Воображаю себе, какую бы рожу скроил наш Митрошка!.. Помните «Министра»?.. Посмотрела бы я, как хлеб за брюхом не ходит... Вот где дурак-то!

Евмения научилась даже картавить и с особенным шиком произносила букву р. Она очень скоро и очень остроумно рассказала историю своего пребывания в Петербурге, куда приехала с тою целью, чтобы поступить на женские курсы, и действительно поступила, но скоро раздумала и ученую карьеру променяла на сцену.

— Меня удерживало только одно, — опуская глаза, говорила тихо Евмения. — Самая профессия актрисы не пользуется особенным уважением. Знаете, все смотрят как на женщину, которую можно купить...

Мне оставалось сказать Евмении о ее сегодняшнем успехе, но на мои слова она печально улыбнулась и проговорила:

— Да, да... А вы хорошо подумали обо мне, встретив меня в этой компании? — Евмения показала головой в сторону наблюдавшего нас издали офицера. — И ведь, главное, уверен, что за хороший ужин все на свете можно купить... Идиот!..

— Однако он может обидеться на вас, что заставляете его ждать, — проговорил я.

— Обидеться?.. Они созданы с специальною целью платить за шампанское, которое мы пьем, устраивать пикники для нас...

— Значит, вам очень весело живется здесь?

— Как вам сказать... От тоски стараешься уверить себя, что очень весело, и дурачишься...

— И здесь тоска?

— Не то чтобы тоска, а пустота... Понимаете? Я даже иногда жалею о Старом заводе, право! Там была хоть надежда впереди, а здесь и этого не осталось: плывешь по течению. А вы помните, как Праведный отчистил меня тогда на суде? И ведь совершенно напрасно... Все в один голос кричали, что я находилась в близких отношениях к Гвоздеву и что он меня подкупил; но, ей-богу, все это чистейшая ложь. Ах, я и позабыла, что вы тогда совсем не были на суде! Смех!.. Родитель заплакал, а я — ничего, только плюнула про себя. Мне тогда порядком досталось, но я не злопамятна. Ведь Гвоздева тогда оправдал Праведный. Да, совсем оправдал. Пять тысяч с него содрал за это удовольствие. Да чего лучше: Праведный ужинает с нами, — пойдемте, он вам расскажет всю подноготную... Дело прошлое, и скрывать нечего. А вы видели Праведного? — спрашивала Евмения, когда я отказался от ужина *«с нами»*. — Находите, что он постарел?..

Евмения через веер печально посмотрела на меня и прибавила:

— Если увидите отца, кланяйтесь ему...

Мне иногда очень хочется видеть его. Бедный старик очень скучает обо мне и пишет мне пресмешные письма, точно мне тринадцать лет. Знаете, по его письмам я начинаю догадываться, что он находится под влиянием Миронихи и, чего доброго, в одно прекрасное утро уклонится в раскол... Воображаю себе положение сладчайшего отца Нектария: какую благочестиво печальную физиономию он скроит по такому случаю. Ха-ха-ха!.. А об Гвоздеве вы ничего не слыхали? Говорили, что Печенкин подал кассационную жалобу в сенат... А о Заверткине, Димитраки, Пальцеве тоже ничего не слыхали? Вот почтенное трио... Как бы желала я посмотреть на этих разбойников... Я думаю, пьют горькую!

Белобрысый офицер опять прошел мимо и многозначительно посмотрел на нас.

— О, это ничего, ему моцион полезен, — весело шутила Евмения. — Пусть прогуливается... Впрочем, мне уж пора, — мой князь, кажется, не на шутку начинает сердиться, — вставая и поправляя спутавшийся трен, говорила Евмения. — Прощайте!..

Офицер подал руку Евмении, она сделала

несколько шагов с ним и, обернув свою белокурую головку, весело проговорила:

— Кланяйтесь же всем, всем!

Грациозно кивнув мне в последний раз, Евмения удалилась с своим князем, немилосердно шелестя шелковым платьем и немного раскачиваясь на ходу; через минуту из соседней комнаты до меня донесся ее звонкий голос, очевидно, отвечавший на чей-то вопрос.

— Я же говорю вам, что это мой родственник... троюродный брат. Понимаете или нет?

Теперь я понял печальную истину: Евмения была в своей роли и не нуждалась больше в декорациях. Она слишком увлеклась жаждой оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и, в обществе этих господ, с головой опустилась в ту сферу, где преобладающей страстью является безумная скачка за наслаждениями. Воспоминания о жизни в Старом заводе, бедной комнатке, уставленной книгами, старике отце с его смешными письмами — все это было теперь только подробностью, которая, с одной стороны, возбуждала сожаление, а с другой — усугубляла живость

текущих наслаждений.

Когда я выходил из клуба с этими грустными мыслями, до меня долетел громкий взрыв смеха из той комнаты, в которой совершалось таинство веселого ужина, а затем наступила тишина, и послышались знакомые звуки баллады Гете, которую пела Евмения:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит...

Глава 13

Наступила петербургская весна, с ее слякотью, холодом и только изредка солнечными днями. В один из таких редких дней, в конце апреля, мне случилось идти по солнечной стороне Невского проспекта. Было около трех часов пополудни, и знаменитая улица кипела гулявшей публикой, спешившей показать весенние костюмы и полюбоваться солнечным светом.

У магазина эстампов и картин Бегрова я остановился перед одним окном и машинально пробежал глазами ряд картин с избитыми, давно надоевшими сюжетами разных мор-

ских видов, уголков благословенного юга и еще какой-то чепухи, вроде итальянок у источников с открытыми руками и аппетитными икрами, испанок с подобранными до «невозможной невозможности» юбками, католических монахов, заглядывающих за корсажи хорошеньких поселянок, и т. д. Я уже пошел было от магазина, как что-то точно кольнуло меня в сердце: в углу окна, в скромной раме, прятались маленькие картинки неизвестного художника. На первом плане картины стояла высокая, густая ель, а под ней прилепилась крохотная, полуразвалившаяся избушка, на самом краю крутого обрыва. За елью и избушкой виднелся далекий еловый лес, еще дальше — невысокие горы, и над всем этим глубоким куполом опрокинулось чистое голубое северное небо, едва тронутое, как серебряною пеной, белыми облачками. Как живые, встали предо мной картины и сцены далекого Урала, бесконечного леса, зеленых гор, привольной жизни старателей...

Вспомнил я палаустный балаган Саввы Евстигнеича на берегу Балагурихи, Василису Мироновну и светлую душу Калина Калины-

ча. Как в тумане, пришел я на квартиру и решил, что завтра же уезжаю из Петербурга,

Живо промелькнула предо мной дорога от Петербурга до Перми. Москва, Нижний, Казань остались назади, и с парохода я перешел прямо на вокзал недавно открытой Уральской железной дороги, чистенький и свеженький, как только что снесенное яичко. После загрязненных вокзалов Николаевской и Нижегородской дорог новое произведение Губонина и К® произвело на меня приятное впечатление, особенно при воспоминаниях той муки, какую приходилось выносить каждый раз, переваливая через Урал по блаженной памяти сибирскому тракту. Пестрая толпа публики сновала по платформе.

Попыхивая клубами темного дыма и рассыпая искры, двинулся локомотив по новой дороге; я долго сидел у окна и любовался еще незнакомыми мне видами, которые мелькали по сторонам. Дорога проходила по широкой низменности, заросшей глухим лесом, и только по мере приближения к главной массе Уральского хребта на горизонте, с правой стороны, начинали выясняться в туманной дали

силуэты гор. Как известно, горные кряжи представляют из себя подобие сороконожки, причем главная масса горного кряжа представляет тело этого насекомого, а отроги и побочные разветвления — ее ноги. Обыкновенно железные дороги стараются провести горными долинами, которые образованы разветвлениями горного кряжа, а затем уже, для перевала через главную горную массу, выбирают какой-нибудь удобный проход или пробивают тоннель, или, наконец, прибегают к высоким подъемам и крутым спускам. Инженеры, строившие железную дорогу через Урал, повели ее не горными долинами, а прямо по гребню одного разветвления горной массы, так что перевал через самый кряж не представлял уже упомянутых выше затруднений и почти совсем незаметен.

Собственно, хороших и интересных видов совсем не попадалось; мимо нас мелькали высокие насыпи, глубокие лога, болота, усеянные пеньками, правильными кучками хвороста и поленницами дров, да иногда поезд с глухим грохотом катился по каким-то длинным коридорам, вырубленным в каменной

почве. Общее впечатление от Уральских гор было очень неопределенно и на непривычного человека должно было наводить невольную тоску. Нужно с детства привыкнуть к этой незавидной серенькой природе, чтоб от души любоваться ее скромными красотами: невысокими горами, сплошь покрытыми хвойным лесом, глубокими горными долинами с говорливою речкой на самом дне да высоким прозрачным голубым небом, с которого волнами льется свет на эти незамысловатые картины природы. Глаз невольно отдыхает на темной зелени бесконечного леса, и в душе пробуждается сильное освежающее чувство покоя, которым живет все кругом.

От станции Привал до Старого завода было верст тридцать, которые нужно было проехать на лошадях проселочного дорогой. Через полчаса я уже сидел в легком плетеном коробке, который бойко катился по убитой дороге. День был ясный, солнце пекло, из лесу так и обдавало душистым паром. Дорога слегка пылившею лентой извивалась между гор. Попадались пролески из берез и липняку, только что развернувших свою зелень. Коро-

бок слегка покачивал, и хотелось ехать в нем все дальше и дальше; сладкая, неотвязная дремота кружила голову, но мысль работала, поднимая старые воспоминания, забытые сцены, дорогие лица... Хорошо, чудно хорошо на Урале весной, в начале мая, когда все в природе спешит развернуть свои силы и жадно ловит каждую минуту короткого северного лета.

Вот вдали мелькнули домики Старого завода и красиво вырезались на зеленом фоне леса силуэты церквей. Я издали узнал стоявшую на пригорке новую церковь, выстроенную в память 19 февраля; постройки все были закончены, леса сняты, и красивое здание стояло, как невеста, блестя громадным куполом, обитым жестью. Ямщик крикнул на лошадей, обдало облаком пыли, смешались спицы в колесах, и коробок вихрем полетел по широким улицам Старого завода, к гостеприимным дверям «Магнита».

Я занял номер и попросил умыться, а через пять минут знал уже последние новости Старого завода, которые главным образом вертелись около приезда архиерея, ехавшего в Ста-

рый завод святить новую церковь, которую, как оказалось, достраивал не Калин Калиныч, а Гвоздев. После небольшого отдыха я отправился навестить Калина Калиныча и нашел его избушку без особенного труда. Во дворе было совсем пусто, и навстречу не выбежала даже хромая собака, которую я видел в последний раз у Калина Калиныча; ветхое крыльцо покосилось совсем на одну сторону, на лестнице недоставало нижней ступеньки, в крыше светилась большая дыра. Войдя в темные сени, я долго искал ручку у двери, напрасно ощупывая бревенчатые стены руками.

— Кто там, крещеный? — послышался голос Калина Калиныча из избушки, когда я, наконец, отыскал железную скобку.

Глава 14

Отворив дверь, я увидел самого Калина Калиныча: он лежал на широком диване, прислоненном к дощатой перегородке. Я не сразу узнал его: лицо было по-прежнему круглое, но совсем желтое и под глазами обрисовывались темные круги. Старик лежал на диване ногами к двери и при моем входе с тру-

дом приподнялся на своей подушке.

— Ах, батюшки... Господь гостя послал!.. А вы уж извините меня, старика, — заговорил старик слабым голосом, стараясь улыбнуться. — Подняться-то не могу совсем... Хворь одолела! Да как вы надумали навестить-то меня!.. А я уж скучаю, пожалуй, один-то... Венушка-то моя уехала ведь в Петербург, ей-богу-с!.. Вот уж два года, почитай, будет, как я остался один-одинешенек... Как здоров-то был, так оно ничего, а прихворнулось, так иногда и тоска возьмет... Все под богом ходим!.. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — говорить-то мне трудно стает-с.

На маленьком столике у самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном переплете, которую Калин Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом и теперь осторожно закрыл.

— Вот от Венушки что-то давно письма нет, — говорил Калин Калиныч. — Уж, думаю, жива ли...

— Она здорова и кланяется вам, Калин Калиныч, — спешил я успокоить старика. — Я видел ее в Петербурге пред самым отъездом.

— Ах, батюшки!.. Что же она: похудела, стосковалась об Старом заводе?

Я сказал старику, что встретил Евмению на улице и что она была совсем здорова и, по обыкновению, весела и просила передать поклон отцу.

— А ведь у ней моя душа-то, добреющая, — говорил Калин Калиныч, вытирая катившиеся из потухавших глаз слезы. — Только уж карахтер у ней неукротительный-с. А я здесь в ее комнате все так и оставил, как при ней было, ни единой книжки не шевельнул, только пыль когда подотру-с. Все думаю: приедет на Старый завод, так ей это будет приятно-с...

Добрый старик долго говорил о своей Венушке, припоминая мельчайшие подробности из ее детской жизни, и несколько раз принимался с жаром благодарить меня, что я его успокоил.

— А что, как она одета была, не приметили-с? — нерешительно спрашивал меня старик. — Поди, бедненько и в очках-с?

— Нет, одета отлично и без очков.

— А где же она денег взяла? Ведь там, говорят, все дорого — страсть!.. У ней было

немножко деньжонок скоплено, рублей полтораста, да в большом-то городе какие это деньги-с!..

— Вероятно, работу нашла какую-нибудь.

Я постарался поскорее прекратить этот разговор, потому что Калин Калиныч говорил с трудом, да и мне тяжело было обманывать этого несчастного, брошенного всеми старика. Мне не хотелось совсем убивать его известием, что Евмения поступает на сцену, и я перевел разговор на его болезнь.

— Что у вас болит, Калин Калиныч?

— Там-с... в самом нутре болит-с... Точно стрелой-с пронзило-с... наскрозь!

— А доктор у вас был?

Калин Калиныч слабо улыбнулся и махнул рукой.

— Какой доктор-с?.. От смерти лекарства нет-с... Лучше доктора нет, как господь бог: на все его святая воля-с...

— А все же, Калин Калиныч, не мешало бы пригласить доктора.

— Нет-с, зачем же их напрасно беспокоить-с?.. Одинова приглашал и доктора... Только больно они у нас горды на Старом заводе.

Кабы у меня были деньги, тогда — другое дело, а то что я ему дам?.. Осмотрел он меня, прописал рецепт, фукнул себе под нос и уехал...

— Как же вы лежите здесь один?

— Нет-с, я не один... Василису Мироновну, может быть, помните-с? Вторая мать для меня... Она каженный день заходит ко мне по два раза-с, и накормит, и напоит.

— А отец Нектарий?

— Бог с ним совсем... Ему ведь некогда меня проведовать-то, — немного грустно проговорил старик. — А помните церковь-то? Совсем отстроена! Благодарение господу, святить скоро будут-с... Архиерея ждут на Старый завод. Да-с! Теперь мне и помереть спокойно можно-с. А знаете, кто церковь-то достраивал? Аристарх Прохорыч, ей-богу-с! И меня оттер совсем... Как его тогда ослобонили на суде, так он сейчас обещание-с: «Так и так, дострою церковь...» Ну, собирались они-таки долгонько-с, и мы тем временем все внутри отделали: выщекатурили, иконостас поставили, начали крылосы отделывать, а тут Аристарх Прохорыч и вмешались... Так и пошло

все вверх дном: и то не ладно, и это не так... А Аристарх Прохорыч твердит свое: ничего не пожалею, потому у меня обещание-с!.. Известно, человек богатеющий, все на свой счет давай заводить, деньгами так и сыплет, — ну, я и отстал, потому пеший конному не товарищ... Обидно оно было маненько, что уж все до конца было доведено, только бы освятить осталось, — ну, да и отец Нектарий говорят: «Потерпи, говорят, Калин Калиныч. Бог, говорят, и твои труды видит, а теперь пусть, говорят, Гвоздев в свою долю постарается». Ну, я и отстал-с. Денег у меня нет, а что мог, то все сделал-с!.. А вот тут еще болезнь приключилась, — оно, значит, даже хорошо вышло, что вовремя отстал... На все воля божья-с... Я не ропщу, — грех роптать...

Эти разговоры, видимо, волновали и утомляли Калина Калиныча: дыхание его было тяжело и порывисто, только округ лившиеся глаза смотрели не прежним беглым взглядом, а спокойно и сосредоточенно, как у человека, приготовившегося к чему-то великому и торжественному. Широкого румянца на лице Калина Калиныча и помину не было, нос обост-

рился я вытянулся. Заметив мой пристальный взгляд, Калин Калиныч с слабой улыбкой посмотрел на себя, а потом заговорил:

— А ведь я-с восемь пудов вытягивал-с, ей-богу-с! А теперь и трех пудов не вытяну... Пальцев в шутку кубическим шаром называл-с... Вот наша жизнь: сегодня — жив, а завтра — нет ничего.

Я начал прощаться со стариком, обещая зайти к нему на днях.

— А я уж не знаю-с, как и благодарить мне вас, — шептал старик, глотая слезы. — Вот вы — чужой, а не забыли меня, старика, и весточку мне принесли... Спасибо, родной! Пришлось еще перед смертью-то повидаться-с...

— Что вы, Калин Калиныч, зачем умирать!

— Нет-с, я помру-с, беспременно помру-с... Будет, пожил-с. И во сне видение мне было...

У меня что-то защемило на душе от этих слов, и мне сделалось до слез жаль бедного старика, не умевшего жить, но встречавшего смерть с тем спокойствием, с каким встречают ее только люди, сумевшие честно прожить целую жизнь и которым нечего бояться смотреть смерти прямо в глаза.

— Вот только Венушки жаль, — заговорил старик, не выпуская моей руки. — Не умел я пристроить ее при жизни-с... Погибнет она понапрасну с своим карахтером-с... Вот ее только и жаль-с... Прощайте-с, может, не увидимся больше-с.

— Перестаньте, Калин Калиныч! Разве это кто-нибудь может знать?

— А вот я знаю-с... Да-с. Было мне сонное видение-с... Явился старец, а с ним еще какие-то люди; старец посмотрел да на меня перстом и показал. «Этот!» — говорит. Я проснулся и понял, к чему это он перстом на маня показал. Это он по душу по мою приходил-с...

Все время моего посещения я видел, что Калину Калинычу что-то хотелось сказать мне, но старик все удерживался; когда я стал прощаться с ним, он, не выпуская моей руки и улыбаясь, взволнованным голосом проговорил:

— А помните суд над Аристарх-то Прохорычем? Тогда этот его адвокат, такой горластый, из себя толстый, еще Венушка звала его Неправедным, сильно нас обидел... Да-с! А

ведь он про Венушку-то совершенно напрасно высказал такие слова-с... Сам после заезжал и просил прощения у меня-с, ей-богу-с! Так прямо и говорит: «Извините меня, Калин Калиныч... Это, говорит, нужно было, чтобы выправить Аристарх Прохорыча-с!» А ведь они тогда душу из меня на суде-то выняли... После простил-с... Может, это и в самом деле им нужно было, и Венушке так сказал: «Потерпи, потому сам господь терпел за нас, многогрешных». А она только смеется, — душа-то у ней вся в меня... Да-с! Напрасно тогда они обнесли на суде мою Венушку, совсем напрасно-с.

Выходя от Калина Калиныча, на ветхом крылечке его избушки я носом к носу встретился с Василисой Мироновной, которая взбиралась по шатавшимся ступенькам с каким-то узелком в руках. Я сразу узнал ее. Знаменитая раскольница не изменилась ни на волос за эти два года, только немного как будто потемнела, да большие глаза смотрели еще строже. Одета она была в свой неизменный кубовый сарафан, а на голове был большой темный платок.

— Что, узнал? — с улыбкой проговорила Василиса Мироновна, протягивая мне руку.

— Да, узнал.

— Калина приходил проведывать? Ненадежен он у нас, того гляди — богу душу отдаст. Доняли они его этой церквой… Строил, строил, а теперь, как все готово, Гвоздев на себя все принял!.. Разве это порядок? Вот с этого наш Калин и пошел хворать… Ох, грехи наши тяжкие!..

— А где Савва Евстигнеич? — спросил я.

— И Савва плох, — сурово отвечала раскольница.

— Отчего так?

— Да такие дела, выходит, подошли: сколько ни живи, а умирать все придется. Вон Калин — на что гладкий был, а теперь совсем в худых душах…[181] Заходи как-нибудь в мою избушку, — побеседуем.

Глава 15

С освящением новой церкви вышел довольно курьезный случай. Дело в том, что достраивал церковь Гвоздев. Ему хотелось принять владыку в своем, только что отстроенном, новом доме, для чего были уже сделаны

все необходимые приготовления. Такое посещение владыки имело большое значение для Гвоздева, потому что подняло бы его авторитет на небывалую высоту. Но в это дело вмешался Печенкин. Хитрого старика кто-то научил перехватить владыку на дороге и увезти в свой дом и таким образом оставить Гвоздева с носом. Враги хотя и помирились давно, но Печенкину понравилась самая идея осрамить Гвоздева перед целым заводом. Сказано — сделано. Гвоздев выехал встречать владыку по той дороге, по какой он обыкновенно приезжал в Старый завод, а Печенкин в это время уже встретил владыку и окольными дорогами провез прямо к себе.

В день освящения церкви масса публики собралась в каменных палатах Печенкина. Конечно, в числе гостей были Пальцев, Заверткин, Димитраки, «Министр» и прочая братия.

Пока я предавался этим размышлениям, к подъезду дома скоро подкатила пролетка Печенкина, на которой рядом сидели преосвященный и сам Печенкин. Гвоздев и Печенкин под руки ввели владыку в дом и торжествен-

но провели его прямо за стол, где было уже все готово к обеду, а на хорах гремела музыка: «Коль славен наш господь в Сионе...» За владыкой ввалилась архиерейская челядь; для нее был отведен особый стол в отдельной комнате, за исключением, впрочем, о. протодиакона. О. Нектарий бегал по зале маленькими шажками, улыбался, крепко пожимал всем руки и постоянно вертелся на глазах у владыки, куда бы тот ни повернул свою голову. Преосвященный Питирим, старичок очень почтенной наружности, улыбался такой доброй улыбкой, что невольно привлекал к себе симпатию всякого; он любил покушать, а главное — любил что-нибудь рассказывать и особенно слушать, как рассказывают другие.

Публика долго и с шумом рассаживалась по местам; владыка сидел между о. Нектарием и Гвоздевым. Заверткин, Димитраки, Пальцев и «Мамочка» разместились за дальним концом стола, окружив о. протодиакона, служившего предметом общего любопытства и вместе с тем для производства некоторых экспериментов.

— Разве, господа, молочка от бешеной ко-

ровы выпьем? — добродушно басил о. протодиакон, поправляя на груди полки распахнувшейся рясы.

— Это он коньяк так зовет, — шептал Пальцев, подмигивая Заверткину.

— Был здесь один человек, — говорил Заверткин, прищуривая левый глаз: — вот пил, так пил... Это был, отец протодиакон, один адвокат. Праведный по фамилии, так он...

Но о. протодиакон не мог более слушать Заверткина, потому что раскатился таким хохотом, что сам владыка поинтересовался узнать причину этого гомерического смеха.

— Вот, ваше преосвященство, над фамилией смеемся, — вставая, говорил о. протодиакон, — был, говорят, здесь какой-то адвокат: Пра-вед-ный...

— А ведь действительно очень странная фамилия, — соглашался владыка. — Очень странная... Пра-вед-ный, да?

— Очень странная фамилия, ваше преосвященство, — поддакивал о. Нектарий, как-то особенно склоняя голову набок.

Между Заверткиным и Димитраки завязался горячий спор по поводу того, кто может

больше выпить о. протодиакон или адвокат Праведный; но этому спору суждено было кончиться ничем, потому что Пальцев в самом интересном его месте поднялся с своего стула и проговорил, обращаясь к владыке:

— Ваше преосвященство, я должен сообщить вам пренеприятное известие: золотопромышленник Иван Тимофеич Травкин, которого вы хорошо знали, третьего дня скончался...

— Как же это так. вдруг?.. — проговорил владыка, с недоумением глядя на Гвоздева и о. Нектария.

— А так, действительно вдруг, ваше преосвященство, скончался, — продолжал Пальцев. — Я его как раз видел часа за два до смерти. Ехал мимо Махневского завода, а он идет навстречу. Поздоровались... Он недавно был именинник, я и говорю ему, что следовало бы подогреть старого-то именинника. Он позвал меня к себе, я и пообещал побывать у него на обратном пути. И действительно, заезжаю, а он — на столе, и лежит как живой, совершенно как живой... Его кондрашка хватил, ваше преосвященство!

— Жаль, очень жаль Травкина, — качая головой, говорил владыка.

— А какой это благочестивый был человек, ваше преосвященство! — говорил о. Нектарий.

— Да, да... Я хорошо его помню. Жаль, очень жаль.

— Немного таких людей, ваше преосвященство, осталось, — говорил Гвоздев.

— Немного, очень немного... Да, немного.

— Пр-римерный хр-ристианин, ваше пр-рео-освященство! — вставил свое слово «Министр», сильно вытягивая свою длинную шею.

Отец Нектарий хотел прибавить еще что-то о добродетелях покойного, но в это время показавшаяся в дверях коротенькая и толстая фигурка заставила невольно всех оглянуться, а потом посмотреть на Пальцева, который, как ни в чем не бывало, что-то шептал на ухо о. протодиакону.

— Благословите, ваше пьеосвященство, — заговорил вошедший, как шар подкатываясь к владыке.

— Как же это?.. Кажется... — шептал влады-

ка, не решаясь дать благословение, но о. Нектарий что-то шепнул ему на ухо, и владыка благословил, проговорив добродушно: — А мы тебя, Иван Тимофеич, здесь совсем было похоронили...

Общий взрыв неудержимого хохота долго стоял в зале: вошедший и был тот самый Травкин, про которого только что сейчас рассказывал Пальцев. Владыка не только не рассердился за эту шутку, но долго смеялся вместе с другими, покачивая своей головой.

— Он, ваше пьеосвященство, всегда что-нибудь такое пьидумает, — жаловался Травкин, указывая рукой на Пальцева, — пьяво, ваше пьеосвященство... Он всегда пьивьет язные пустяки!

Все долго хохотали над выдумкой Пальцева, который смеялся вместе с другими и даже упрекал Травкина:

— Ты, ангел мой, совсем подвел меня... Разве так делают порядочные люди?

Весь обед прошел самым оживленным образом. Владыка улыбался, слушал и даже сам рассказал несколько очень увеселительных анекдотов, из которых один привел всю пуб-

лику в полный восторг.

— Раз я объезжал свою епархию, — рассказывал владыка. — В одном селе… кажется… Отец протодиакон, не помните ли вы, в каком это было селе?

— В селе Березовском, ваше преосвященство! — отвечал о. протодиакон, знавший наизусть все анекдоты владыки и даже тот неизменный порядок, в каком они следовали один за другим.

— Да, да… Припоминаю: это действительно было в селе Березовском, — продолжал владыка с своей добродушной улыбкой. — Священник этого села и представляет мне одного псаломщика. Как же его звали?.. Позвольте… Отец протодиакон, не помните ли вы, как звали того псаломщика?

— Асклипиодот, ваше преосвященство!

— Да, да… Припомнил: действительно Асклипиодот… Священник представляет его мне и говорит, что он примерной нравственности и желает занять вакантное место диакона при церкви села Березовского… Кажется, так, отец протодиакон?

— Точно так, ваше преосвященство!

— Я проэкзаменовал его, заставил пропеть, а потом и спрашиваю: «Ты, Асклипиодот, очень желаешь быть диаконом?» Он мне и отвечает... Да, да... Позвольте, что же он такое мне отвечает? Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, что он мне отвечал?

— Псаломщик Асклипиодот отвечал вашему преосвященству, что «всякий человек желает быть диаконом!».

— Ах, да, да... Действительно, так: «Всякий человек, ваше преосвященство, желает быть диаконом». Ха-ха-ха!

Над этим анекдотом смеялись больше, чем над смертью. Травкина: густым басом, откровенно хохотал о. протодиакон, добродушно смеялся с ним «Мамочка», хихикали Димитраки, Заверткин и Пальцев, и смеялся, именно смеялся, о. Нектарий, — смеялся всем своим упитанным существом, смеялся до слез, каждою каплей своей крови, как умеют смеяться невинные младенцы, когда нянька им скажет «агу». Это была даже не картина, а какая-то музыка. В восторге от анекдота о. Нектарий расцеловал руки владыки и подобострастно спрашивал со слезами на глазах:

— Всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом? О... ха-ха-ха!..

— Да, да! Так и говорит: всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом, — добродушно повторял владыка свой анекдот.

Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим. На первом плане, конечно, была рыба самая разнообразная и во всяких формах: уха из живых харюзов, пудовый осетр, сваренный целиком, тальмени с розовым, нежным мясом, семга и еще целый ряд рыб, название которых я не упомню. Все это, сваренное или зажаренное, прошпигованное мудреными начинками и приправленное остроумнейшими соусами из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, капорцами и тому подобными премудростями, подавалось на стол, съедалось и сейчас же заменялось каким-нибудь новым кушаньем. Гостей было человек двести, так что нужно было очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести провинциальных желудков, как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его количеству.

Печенкин оказался чудо-хозяином и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни один рот не оставался без работы и чтоб у каждого прибора рюмки стояли полными.

Обед продолжался очень долго; пили все и за все, что только существует под луной. Владыка очень утомился этим длинным и торжественным обедом и скоро удалился на свою половину, чтобы предаться необходимому отдохновению, но оставшаяся публика и не думала уходить.

Вечером этого многозначительного дня я сидел в общей зале «Магнита» и от нечего делать перебирал старые газеты. Часов около девяти вечера на лестнице послышался глухой топот, точно кто-нибудь въезжал на лестницу на лошади. Дело скоро объяснилось: в общую залу нетвердыми шагами ввалилась почтенная компания, состоявшая из «Министра», Заверткина и Димитраки, обнявшихся, как три брата, и взаимно поддерживавших друг друга. Несмотря на эти трогательные усилия, почтенная компания едва могла попасть в двери. За ними, тоже обнявшись, шли Пальцев и Травкин; они держались на ногах

только потому, что сильно навалились друг на друга. Травкин, этот «примерный христианин», по словам «Министра», теперь еле-еле шевелил заплетавшимся языком и все повторял одну и ту же фразу:

— Пьяво, Пайцев, ты вьешь, все вьешь, а я тебя все-таки юбью...

— Мы об-бедали у Гвоздева с пр-реосвященным! — заявлял Заверткин, увидав меня и выделывая своими вихлястыми ногами самые замысловатые вензеля.

Почтенная компания проследовала благополучно до буфета и расположилась где попало, в таких позах, как будто всех их сдуло ветром. Один Димитраки еще настолько сохранил присутствие духа, что потребовал очищенной. Но бедный «Министр» лежал на полу без всякого движения, как оглушенная рыба, мычал и совершенно напрасно старался объяснить что-то «посредством перстов».

Заверткин ухитрился как-то подняться на четвереньки и в этой трогательной позе пропел над распростертыми на земле телами своих друзей известные куплеты:

Уж мы пили, пили, пили,

На другой день после освящения церкви кто-то тихо постучал в мой номер. Отворив дверь, я увидел знакомого мне Гришутку, который был в числе старателей на Балагурихе. Мальчик очень вырос в эти два года, но лицо осталось по-прежнему серьезным. Увидев меня, он проговорил:

— Василиса Мироновна велела тебе сказать, что Калин умер сегодня ночью.

— И больше ничего?

— Ничего.

Это известие сильно опечалило меня, и я, одевшись, отправился в избушку Калина Калиныча, чтоб отдать последний христианский долг этому доброму существу. Я услышал монотонное чтение над покойником, а из окон избушки так и валил клубами синий дым ладана. Покойник лежал на столе; над ним читала своим певучим голосом Василиса Мироновна; у печки, на небольшой деревянной лавочке, сидели две старухи, недружелюбно посмотревшие на меня.

— «Пришлец есмь аз на земли, — читала Василиса Мироновна своим ровным, невоз-

мутимым голосом, — умножися на мя неправди гордых, аз же всем сердцем испытаю заповеди твоя, господи...»

Лицо покойника не было закрыто, и на нем застыло неземное спокойствие; щеки осунулись; на глазах были положены медные копейки; чтобы не отваливалась нижняя челюсть, лицо было подвязано белым платком. Прочитав псалом, Василиса Мироновна подошла ко мне и тихо проговорила:

— Вот и Калин приказал долго жить.

Мне показалось, что в глазах Миронихи блеснули две слезинки, но, заметив мой пытливый взгляд, она быстро отвернулась и тяжело вздохнула.

Глава 16

Через два месяца после смерти Калина Калиныча я случайно встретился на улице с Василисой Мироновной. Она была чем-то встревожена.

— Ты бы зашел как-нибудь в мою избушку, — проговорила она. — Дело есть до тебя...

— Какое?

— А вот увидишь, когда придешь, — уклончиво ответила раскольница.

Мне давно хотелось побывать в избушке Василисы Мироновны, а теперь «закинулось заделье», и вечером я отправился в дальний конец Старого завода.

Домик Василисы Мироновны стоял на конце Болотной улицы, где начинались маленькие избы и лачужки предместья. Снаружи это был кокетливо чистенький домик, обшитый тесом, с зелеными ставнями и белой трубой. Маленькая калитка вела на широкий двор, который, как у всех раскольников, сверху был покрыт отличной тесовою крышей с несколькими слуховыми окнами, откуда падало света как раз настолько, чтобы не разбить себе лба. Пол во дворе был деревянный; кругом тянулись какие-то амбары, хлевы, новенький сарай; везде чистота была поразительная, как в комнате, хотя было что-то тяжелое во всей этой обстановке, походившей на деревянную крепость.

Гремя железною цепью, отчаянным лаем заливалась громадная собака, стоившая десяти уличных сторожей. Широкое русское крыльцо с точеными столбиками, поддерживавшими небольшой навес, вело в маленькие

светлые сени, разделявшие домик Василисы Мироновны на две избы — переднюю, в которой собственно жида Василиса Мироновна, и заднюю, в которой помещалась моленная. Деревянные стены были вымыты поразительно чисто, полы устланы своедельщиной — половиками, а в передней избе был постлан дешевый тюменский ковер. Налево от двери стояла белая русская печь, как и в избушке Калина Калиныча, отделенная от остальной избы крашеной перегородкой. Вокруг стен тянулись деревянные лавки, в переднем углу стоял выкрашенный синей краской стол, над дверями были навешаны крашеные полати. В переднем углу красовался большой зеленый киот со старинными образами, пред которыми теплилась неугасимая лампада. Когда я вошел в эту комнатку, светленькую, как игрушка, в переднем углу, облокотившись на стол, сидел Савва Евстигнеич, не поднявший даже головы при моем появлении; голос Василисы Мироновны, что-то делавшей за перегородкой, заставил старика очнуться, и он пристально посмотрел на меня своим единственным оком.

— Милости просим, дорогой гость, — звонко говорила Василиса Мироновна, показываясь из-за перегородки с засученными рукавами рубашки, обнажившими сильные, загорелые руки. — Садись, так гость будешь. Узнаешь гостя, Савва? — обратилась она к старику, который продолжал сосредоточенно наблюдать меня.

— Узнал... Как же, узнал, — глухо отвечал старик. — Помню, на Балагурихе ночевал у нас в балагане...

Усадив меня в передний угол, напротив старика, раскольница на некоторое время исчезла из комнаты и появилась нагруженная снедями и брашном. Весело разговаривая, она ставила на стол тарелки с черной икрой, прошлогодними рыжиками, балыком, ягодами, изюмом, пряниками и две бутылки — одну с водкой, другую с душистой наливкой из княженики.

— Угощать-то мне тебя нечем, да и не умею я это по-господски делать, — немного кокетливо говорила Василиса Мироновна, как бы напрашиваясь на комплимент. — Уж не взыщи на нашем мужицком угощенье!..

Созвать-то я созвала тебя, а угощать и не умею. Выкушайте-ка вот по рюмочке...

Раскольницы и начетчицы больше не было, а была домовитая хозяйка, угощавшая от трудов рук своих, и было что-то трогательное в этой метаморфозе: так и веяло чем-то патриархальным от этой высокой женской фигуры, угощавшей нас с таким трогательным смирением и ветхозаветной простотой. Старик выпил рюмку водки, а я рюмку наливки, которая была необыкновенно ароматна.

— Покойник Калин любил эту наливку, — говорила раскольница, указывая на штофик с наливкой. — А как он умер хорошо: точно просветлел вдруг и все так обстоятельно говорил!.. Только перед самым отходом душа в нем встосковалась, больно плакал: дочери, слышь, жаль, — погибнет без него...

— Добреющей души был человек, — проговорил старик.

— Этаких простецов больше не осталось, — с тяжелым вздохом прибавила раскольница. — И до самой последней минуты все в памяти был, все разговаривал, а потом вытянулся немного и — конец.

Василиса Мироновна, видимо, ухаживала за стариком, который или был болен, или чем-нибудь сильно расстроен. Поболтав еще минут десять, Василиса Мироновна поднялась с своего места и, поправив платок, проговорила:

— А я схожу тут недалеко в соседи... У бабы волос долог, да ум короток: позвала я тебя, а выходит, понапрасну, — пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут побеседуйте, а я живым духом схожу. Так ты уж посиди здесь, — обратилась ко мне еще раз Мирониха. — Я живым духом...

Оставшись вдвоем, я долго не знал, о чем разговаривать со стариком, а он молчал, погрузившись в тяжелое раздумье, и, кажется, совсем забыл о моем присутствии. Он выпил уже несколько рюмок водки и заметно покраснел.

— А что, Савва Евстигнеич, как ваш шурф на Балагурихе? — спросил я старика, чтобы начать разговор.

— Какой шурф?

— Ну, да помните, который вы тогда били при мне...

— Ах, да... пустое дело, — бросил скоро! Да и не к чему, — с тихою грустью проговорил старик, опуская голову. — Ведь «Разбойника»-то у меня украли.

— Как так?

— Украли, зломанники! Погубили меня, разорили...

Старик неожиданно заплакал своим единственным глазом.

— А ведь я тебя вспоминал, не один раз вспоминал, — утирая слезы, заговорил старик. — Помнишь, я тебе сказывал, как кыргыза-то убил, а ты мне тогда еще сказал, что как мне его не жаль... Ты тогда ушел, а мне это и пади на ум. Оказия: и работаю, и молюсь, а кыргыз все с ума нейдет. Не поверишь, сна лишился, от хлеба отбился, а все это было к тому, что пропасть моему «Разбойнику». К тому, значит, и о кыргызе эдак думал... И эпитимию на себя накладывал, чтобы замолить грех, и обещания давал — ничего не помогало! Только одна Василиса Мироновна и отмаливала! Как помолится, так будто маненько и полегчает.

— Как же у тебя «Разбойника»-то украли?

Савва Евстигнеич долго молчал; видимо, что ему трудно было рассказывать подробности этого страшного для него дела.

— Расскажу я тебе это дело по порядку, — начал старик. — Связался тогда я с этой Балагурихой, лето-то простарался, а толку не мог добиться... А надо тебе сказать, и на Балагурихе я работал только для видимости, для отвода глаз, потому в те поры ходил слух, что будет новый исправник, и за нами сильно следили.

— Как так? — невольно спросил я.

— Ну, да уж слово вылетело — не поймаешь, да и дело прошлое, да и мне-то теперь все равно: не пойдешь ведь на меня доносить? Ведь у нас на Старом заводе займуются золотом-то: доносить, так на всех...

— Что вы, Савва Евстигнеич!

— Проболтнулся я тебе — надо, значит, рассказывать все. Видишь, в чем дело: все мы грешны да божьи. Золотом жили. Только с этим золотом — ух как опасно!.. А тут, как с неба, и свались ко мне «Разбойник»... Эх, что это только за лошадь была!.. Огонь, а не лошадь... Ты и во сне не видывал таких лоша-

дей, да и не слыхивал, да никто тебе и не поверит, что на свете кони такие бывают... Одно слово — «Разбойник», разбойничья лошадь! Я вот тебе расскажу, какие мы с ним дела обделывали, а ты их хоть кому рассказывай — не поверят, в глаза осмеют!.. От Старого завода до Ирбита летом верст с двести, а зимой, малыми дорогами, верст сотня, а ярманка-то в Ирбите бывает зимой... Понял?

— Ну, так слушай. На этой ирбитской ярманке и сбывают золото, потому тут съезжаются разные такие азияты, с шарманками там, с пуговками, с мылом, — ну, понимаешь, все это для отводу глаз только! Китайцы тоже не брезгают нашим золотом-то, только несуразный народ: ты с ним каши не сваришь; а вот бухарцы да армянцы — те и нас за пояс заткнут!

Старик немного помолчал, а потом, вздохнув и выпив рюмку, спросил меня:

— Ну-с, на чем, бишь, я остановился?

— На армянах, Савва Евстигнеич.

— Да, да, точно на армянцах... Так вот в ярманку-то до Ирбита от нас сто верст. Исправник али становой там уж знает, что староза-

водские беспременно золото повезут на ярманку, и караулит: помельче кого, вроде нашего брата — в острог, а покрупнее — оберет, как липку, да и пустит в одной рубашке. Известно, кто этими делами занимается — тоже народ прожженный, ходят босиком, а следы в сапогах, да все-таки трудно увернуться: места наши маленькие, всех по пальцам знают, а чуть начал пошире жить, торговать, сейчас уж его и под шапку. А когда попался в мои руки «Разбойник», поездил я на нем первую зиму, вижу, лошадь как есть золотая. Не поверишь, я нарочно на «Разбойнике», для пробы, езжал в одну ночь в Ирбит-то и обратно, ейбогу! Только два дня уж я его к этому готовлю, все мучаю, а пред самой поездкой с самого утра на нем гоняю до мыла. Потом часа за три до сумерек привяжу его к столбу, простоится он таким манером часа три, дам ему два ломтя хлеба с солью, посажу в санки Гришутку, — помнишь, на Балагурихе-то, — да и в путь. К полуночи Гришутка в Ирбите привяжет «Разбойника» к столбу, даст два ломтя хлеба с солью, стакан водки вольет ему в глотку да в ту же ночь обратно и приедет на Старый завод,

к утру, к самому эдак рассвету. В ночь-то, значит, двести верст и сделает... Скажи-ко кому, да тебе никто в жизнь не поверит! Вот какая была лошадь... Вот когда ярманка-то начнется, зараньше прикопишь золотца, да в одну ночку и свезешь в Ирбит-то, а к утру — дома; денежки в кармане, придраться нельзя, потому устроишь так, чтобы с вечера-то все тебя на заводе видели.

Старик низко-низко свесил голову и долго молчал, пока я не вывел его из этого состояния своим вопросом:

— Как же у тебя украли такую лошадь, Савва Евстигнеич?

— А уж так, по грехам господь наказал, — заговорил старик спокойно и со смирением. — Сплю это я раз летом, таково крепко сплю, только слышу — в окно мне — тук, тук! Кого там, думаю, нелегкая принесла? Отворил окно: сосед. «Чаго тебе?» — «А ты, говорит, ничего не знаешь?» — «Нет, говорю, ничего не знаю». — «Да ведь у тебя лошадь-то, говорит, украли...» Как это он мне вымолвил, так меня ровно обухом по голове, и свет из глаз выкатился! Выскочил на двор, в конюшню, —

нет... Ах, оказия, думаю: куда делась лошадь? Ворота все на запоре... Так, думаешь, как они увели лошадь? А взяли, разобрали крышу да через крышу на веревках и вытащили. А собака, может, помнишь, которая на Балагурихе со мной была, Куфтой звали? — окормили ее... Выхожу я за ворота к соседу, а самого так и пошатывает, точно я пьяный совсем. «Что, говорю, теперь делать...» А в глазах так столбы и ходят... А сосед и говорит: «Надо, говорит, толкнуться к Евгешке, — некому окромя его такую штуку выкинуть!» Прихватили мы еще человек трех и — к Евгешке. Помолитвовались под окном, спрашиваем хозяина: надо, мол, поговорить. Выходит Евгешка к нам за ворота, тут мы его и приняли... Побили, побили мы его тут, — запирается, собака: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Дело было зимнее. Связали мы его по рукам да за ноги-то и привязали к саням, а двое на него, да таким манером через весь завод и проехали, а потом — на рудник, верстах в восьми от Старого-то завода. Приехали туда. У Евгешки спина в лоскутьях, так мясо клочьями и висит, а все запирается... Тут мы взяли да вниз головой

его и спустили в шахту: «Сказывай, а то тут тебе и конец!» Покаялся...

— Что же вы сделали потом с этим Евгешкой?

— А сделали мы с ним вот что: он сказал, что моя лошадь в Огневой, — так, деревнюшка тут есть, в семи верстах от Старого завода, плуты на плутах живут. Мы Евгешку на дровни да в Огневу, прямо к тому мужику, на которого он показал, а его и след простыл. Спросили хозяйку: «Точно, говорит, была лошадь, да только увели». Делать нечего, потеребили маненько для памяти бабенку да с пустыми руками и приехали на Старый завод, а Евгешку опять по-за саням тащили, да у его дома и бросили замертво...

— Что же потом с ним было?

— А известно: собаке — собачья и смерть. Хозяйка позвала лекаря, а лекарь станового... Становой-то посмотрел на Евгешку, да и говорит: «Дураки, ангел мой, говорит, и те, что Евгешку-то, слышь, били, — надо бы, говорит, его до смерти». Так бы и следовало, да пожалели мы-то его, варнака, только маненько поучить хотели... На третий день он так и по-

мер без языка.

— Отчего же вы не отвели Евгешку к становому, когда его поймали?

— К становому?.. Что ты, милый человек, да у станового-то он, может, с тыщу разов бывал, да разве ты его проймешь этим? Ни в жисть! Становой к мировому, мировой на высидку и — конец всему делу. А нашему брату от их, варнаков, разоренье, да еще худую славу пущают на весь Старый завод, — дескать, там что ни есть несосветимые[182] плуты живут... Мы их в ту весну еще четверых уходили, конокрадов-то, — больно шалить зачали.

— Что же, ты не разыскивал больше лошадь?

— Как не разыскивать!.. Разыскивал. Почитай все время разыскивал, только понапрасну время терял, потому они «Разбойника» в степи угнали. И деньги раздавал нищей братии, и на обители подавал, и в скиты денег-то охапкой посылал — ничего не берет: нет моего «Разбойника» — и шабаш!.. Денег-то, которые нажил он мне, еще много осталось, да друга-то сердечного не стало!.. Вот я и езжу все да отыскиваю его.

Глава 17

— Иди-ко сюды! — поманила меня Василиса Мироновна, приотворив дверь в переднюю избу. — Я тебе покажу одну штучку.

Мы вышли в сени. Василиса Мироновна отворила дверь в заднюю избу и дала мне дорогу. Издали мелькнула неугасимая лампада, которая теплилась перед целым иконостасом из старинных образов. На меня пахнуло росным ладаном и запахом восковых свеч и деревянного масла.

— Не признаешь ли? — спрашивала раскольница, указывая рукой на какую-то женщину в черном платке.

Я немного даже отшатнулся назад: передо мной сидела Евмения. На ней надет был косоклинный раскольничий сарафан с глухими проймами, ситцевый, подвязанный в подмышках передник, белая миткалевая рубашка. Голова была повязана темным ситцевым платком, сильно надвинутым на глаза; из-под платка выбивалось несколько прядей белокурых волос; болезненно-пристальным взглядом смотрели совсем округлившиеся серые

глаза.

— Здравствуйте, — проговорил я, протягивая руку.

— Здравствуйте... — как-то неохотно ответила Евмения.

— Помилуйте, Евмения Калиновна, что это за маскарад такой?

— Маскарад?.. Вы думаете, что это маскарад?.. Нет, настоящий маскарад кончился, — будет! — При последних словах Евмения хрустнула пальцами и засмеялась злым смехом.

— Вы давно из Петербурга?

— Право, не помню хорошенько... Василиса Мироновна, когда я пришла к вам?

— Третьева дни, милушка, третьева дни... Этак под вечер будет, — отвечала раскольница, складывая свои руки на груди.

— Вот к ней под начал поступаю, — проговорила Евмения, вскидывая глазами на Василису Мироновну. — В горы скоро уйдем, в скиты...

Меня совсем изумила встреча с Евмением в этой обстановке, которая представляла такой резкий контраст с тем, что я видел ка-

ких-нибудь полгода назад в клубе художников. Расспрашивать Евмению прямо о причинах ее появления в Старом заводе я не решался, предоставляя ей самой высказаться. После короткого разговора ни о чем Евмения кинула мне вызывающую фразу:

— Что же вы меня не спрашиваете, зачем я уехала из распрекрасного Петербурга? Может быть, опасаетесь повредить мои нервы?..

Точно вспомнив что-то, она быстро и уже серьезным тоном проговорила:

— Вы, батенька, пожалуйста, не смотрите на меня, как на жар-птицу... У меня ведь действительно неладно с нервой. Я поэтому больше и инкогнито сюда заявилась. Не хотелось ни с кем встречаться из старых знакомых. Отдохнуть хочется. Устала.

Евмения при последних словах несколько раз сухо кашлянула.

— Видите, бронхит на память о Петербурге привезла...

— Молочко-то ты выпила? — спрашивала Василиса Мироновна.

— Выпила... Спасибо, голубушка, на молочке. Мужик за спасибо три года работал... Ну, а

что Савва? — спросила Евмения, беззаботно встряхнув головой. — Все еще, небойсь, дуется... Скажи ему, что я не сержусь на него.

— Вот, подумаешь, связался старый с малым, — полушутя, полусерьезно проговорила Василиса Мироновна, обращаясь собственно ко мне. — Не берет их мир — и кончено... Никак это вчерась за ужином было... Ведь чуть они не разодрались, ей-богу!.. Эта стрекоза-то давай старика своими цигарками дразнить, а тот и войди в сердце. И смех и горе... О-о-хо-хо!.. Теперь и сидят по разным углам, как кошка с собакой.

— А я очень люблю Савву, — откровенно призналась Евмения. — Он такой славный старик и так смешно о своей лошади тоскует... Мы с ним послезавтра в скиты отправляемся. Дорогой помиримся...

— Вы долго думаете пробыть здесь? — спросил я.

— Я-то?.. Гм... Я приехала, надо полагать, совсем, — ответила Евмения и задумалась. — Доктора проклятые все мутят, — прибавила она с улыбкой. — Насказали мне таких четвергов с неделей, что ложись да умирай: и в

груди неладно, и нервы, и ностальгию приплели. Да ведь вы еще не знаете ничего... Праведный-то — помните? — формальное предложение мне сделал, да-а!.. Да вы только представьте себе такую комбинацию: я и — m-r Праведный... Нечего сказать, примерная пара — свинья с пятиалтынным!..

— Оно и лучше бы, ежели бы в закон вступить, — заметила степенно Василиса Мироновна. — А то не знаешь, к чему тебя и применить: ни ты баба, ни ты девка...

— Этого, Василиса Мироновна, я и сама не знаю, к чему себя применить... Теперь вот по старой вере хочу пойти, кануны говорить стану по покойникам да неугасимую читать.

— Не таранти языком-то!.. Больно он у тебя востер... Еще покойничек Калин Калиныч как бывало жалился на тебя за язычок-от!

— Да, да... Я его до слез даже доводила, — припоминала Евмения с задумчивой улыбкой. — А знаете, — прибавила она, — какой удивительный случай со мной вышел... Как я узнала, что отец умер, мне вдруг так сделалось его жаль, что и рассказать не умею. Дня три проплакала, а потом не могу его забыть, и

кончено... Я только теперь его оценила... Знаете, я отдала б бог знает что, чтоб увидеть его еще раз! Глупа была, — не понимала отца... А тут как посравнила с другими людьми, с этими разбойниками, — ну, тогда и опомнилась. Ведь славный был старик, да?.. Честная, хорошая душа... Я, право, так люблю его теперь, как никогда не любила. В нем была эта евангельская чистота сердца и, понятно, совсем особенная незлобивость, кротость, любовь к людям...

Понемногу Евмения разговорилась, по обыкновению быстро перескакивая с одного предмета на другой и постоянно меняя тон. Но печальные ноты так и проскакивали в этом неровном разговоре, а оригинальное лицо освещалось какой-то недоверчивой улыбкой. В своем странном костюме Евмения была сегодня особенно оригинальна; она это чувствовала и, кажется, немного стеснялась.

— Надоело играть вечную комедию, — говорила она, опуская глаза. — Здесь, то есть в Старом заводе, по крайней мере была вера во что-то хорошее, вера в каких-то людей... Конечно, и это хорошее, и эти необыкновенные

люди были там, в Питере, а на деле... Разница вся только в том, что в Старом заводе и подличают, и лгут, и обманывают, и делают всякие гадости в микроскопических размерах, а там все это — в увеличенных.

— Неужели ж вы там ничего хорошего и не встретили?

— Как вам сказать... Раза два были такие случаи. Попался мне один юноша, из зелененьких... Все это, знаете, в нем еще бродит, хочет осчастливить мир и так далее. Честно этак, тепло, молодо. Я даже немножко, грешным делом, увлеклась было, по части сердечной тронулась, — ну, да вовремя опомнилась и юношу живо отрезвила. Обругал меня, плюнул... После спасибо скажет, может быть. Потом в другой раз... к художникам попала. Да, к настоящим художникам, понимаете!.. Совсем как на луне живут, сердечные, точно сейчас с того свету... Ну, поиграли со мной, забавляла их, а потом наскучило сестричкой у тридцати братцев трепаться. Тут уж я плюнула. Ну их к нечистому!.. Очень уж пресный народ...

— А сцена?

— Вот здесь-то мое слабое место и оказалось... Все надеялась, все ждала, а потом действительно были маленькие успехи. Поманило... Взялась за роли потруднее, да и провалилась, — пороху не хватило... Были дураки, которые даже хвалили, только уж тут я сама понимала, что такие похвалы хуже ругани. Совесть зазрила... Думала даже покончить с собой, да опять пороху не хватило. Вот тут-то на меня тоска настоящая и навалилась, — да такая тоска, точно как мышь в мышеловке сидишь!.. И так мне опротивел тогда этот Питер, что просто хуже смерти, Затосковала. Это я-то затосковала!.. Смешно рассказывать даже, о чем думала. Вспомнилась моя комнатка... Вы, кажется, были тогда в ней? — Ну вот, та самая. Полочка с книжками, железная кроватка, тетради разные... А тут отец вдруг умер, — я уж и совсем свихнулась. Ни сна, ни аппетиту, — хожу сама не своя. Посоветовали обратиться к Боткину[183]. Выслушал меня, посмотрел, да и говорит: «Ну, вам, барынька, поскорее восвояси надо убираться! Воздух родины — единственное лекарство для вас». Тут уж я обеими руками перекрестилась, да и

махнула сюда. А теперь пока у Василисы Мироновны околачиваюсь... Вот женщина, так женщина!.. Я когда смотрю на нее, так мне легче делается. Мы с ней, кажется, сошлись, хоть она и журит меня. И знаете, я службу ихнюю раскольничью полюбила... По целым часам выстаиваю и все слушаю и смотрю. Тут чувствуешь, что люди действительно живут всем существом, а не обманывают себя и других разными благоглупостями.

Василиса Мироновна не присутствовала при последнем разговоре. Ее вызвал какой-то таинственный мужик. До моленной, где мы сидели, доносился ее голос обрывками. Раскольница кого-то журила, а потом, видимо, смилостивилась, и ее голос зазвучал мягкими женскими нотами. Скоро ее высокая фигура появилась в дверях моленной.

— Вы бы шли чайку попить, — предложила Василиса Мироновна.

— А там у тебя кто-нибудь есть? — справилась Евмения.

— Да кому быть-то, милушка... Сидит твой благоприятель, Савва, и все тут. Ну, идите, — самовар на столе!

Когда мы вошли, старик нахмурился и отвернулся от Евмении. Василиса Мироновна благочестиво подобрала губы в оборочку.

— Старичку... сто лет здравствовать! — весело проговорила Евмения, фамильярно хлопая Савву по плечу. — Ну, будет!.. Я ведь не сержусь на тебя, — слышишь?

— Ты не сердишься, да я, может, сержусь на тебя, — сурово ответил старик, стараясь не смотреть на Евмению. — Прытка больно зубы-то заговаривать!

— Хочешь, я тебя поцелую, старичок? — весело сказала Евмения.

— Отойди, грех...

— Ну, ну, будет вам беса-то тешить! — усовещивала Василиса Мироновна. — Ишь, вас забрало!.. Милушка, садись сюда, — прибавила она, указывая Евмении место около себя на лавке.

— Нет, мне здесь лучше, — ответила Евмения, усаживаясь на лавку рядом со стариком и по пути задевая его локтем.

— Тьфу! — отплевывался Савва, стараясь скрыть набегавшую на лицо улыбку.

— А ты, старичок, не сердись, — печенка

испортится, — не унималась Евмения. — Еще собираешься со мной в скиты богу молиться.

— Я-то поеду, а уж как ты — не знаю, — отвечал Савва. — Разве с Лыской на одной линии побежишь.

— Ну, уж и с Лыской!.. Полно грешить-то, Савва Евстигнеич! Во мне тоже, поди, не пар, а христианская душа...

— Всем бы ты девка хорошая, — уже весело заговорил старик, — только молиться по-нашему не умеешь... Значит, нам с тобой не по одной дороге богу-то молиться. Ты вон и рыла-то не умеешь по-настоящему перекрестить...

Спор опять возгорелся с новою силой, и Василисе Мироновне стоило большого труда потушить его. Я вспомнил наш чай в избушке Калина Калиныча, когда мы все так весело смеялись над анекдотом Праведного. Через минуту она спросила меня:

— А помните *тогда* анекдот Праведного? Давно ли, кажется, все это было, а между тем сколько воды утекло за это время!..

Чай вообще закончился довольно печально. Видимо, каждый был занят своими соб-

ственными невеселыми мыслями. Когда я стал прощаться, Василиса Мироновна проговорила:

— Погоди ужо меня, вместе пойдем... Мне по пути с тобой идти-то. Дьяконица тут двойней родила, так надо проведать бабу-то... Дьякон-то зашибается маненько.

Когда мы выходили из избы, Евмения не утерпела и крикнула вслед:

— Увидите наших-то, так кланяйтесь своим-то!..

— Видел? — спрашивала меня раскольница.

— Видел. А что?

— Да так я спросила. Может, думаю, не заметил ли чего...

— Больна она, кажется.

— Уж и не говори: местечка живого нет, так в чем душенька держится, — махнув рукой, ответила Василиса Мироновна. — Грешный человек, не любила я ее допреж этого, даже очень не любила.

— А теперь?

— Теперь-то...

Василиса Мироновна немного помолчала,

а потом тихо прибавила:

— А теперь, милый человек, сна мне вот куда приросла (раскольница показала на сердце). Да... И как это чудно все вышло, ума не приложу. Я тебе не рассказывала?.. Так вот послушай. Сидим это мы с Саввой третьева дни, этак под вечер дело, — ну, там за самоваришком калякаем, — под окном кто-то и постучись, да тихо таково, вроде как за милостыней. Я подхожу к окну-то, глянула на улицу, а она там стоит да на меня и смотрит... Таково страшно смотрит, страшно и ласково. Я попервоначалу-то испугалась и отшатнулась даже от окна. Да уж потом сотворила молитву и говорю ей, чтобы в избу шла. А надо тебе сказать, она и в избушке у меня отродясь не бывала... Ну, пустила я ее, а сама все как-то не в себе ровно, так мне неловко даже, совестно как-то. Худенькая такая сама-то, а одежонка-то на ней по-модному, точно облепила всю... А глазенки этак зло, зло смотрят. Я опять, согрешила, подумала про себя, зачем это она в мою избушку пришла. И с чего это я подумала — никакого толку не могу дать. Ну, Савва сидит на лавке, тоже смотрит на гостью

волк волком. Знаешь, какой у него разговор-то, — не скоро раскачается... Ну, приговорила я ее все-таки чайку там напиться, закусить, — не гнать же в сам-то деле странного человека. Напилась она чаю, тарантит по-своему, а сама нет-нет — да и скашлянет... Зажгла я свечку, потому на дворе стемнело давно, а она мне и говорит: «Василиса Мироновна, *не гоните меня*, — я останусь у вас ночевать». Только всего и сказала, а сама светленько, светленько таково смотрит на меня, совсем по-ребячьи... Так, понимаешь ты, этим своим одним словом она точно придавила меня, ей-богу!.. И жаль мне ее стало, и совестно сделалось, что раньше-то я так про себя о ней подумала?.. Покраснела даже, а сама не смею на нее поглядеть. Тут уж у меня сердечушко-то и сказалось... «Ведь живой человек она, — думаю это про себя, — душа в ней, а я, дура, что подумала про нее». И Калина-то вспомнила... Горниц то у меня не больно много: в передней избе сама с одной старушкой сплю, а в задней ей и приготовила постельку. Ну, уложила ее спать, а она все щебечет, все ластится, а меня то в жар, то в холод от ее

слов бросает. Раскрыла свой чемоданишко, давай мне показывать наряды там свои и книжки... «Вы, говорит, может быть, думаете, что у меня денег нет?» Открыла там боковушку какую-то и показывает: действительно, денег много, пожалуй, с полтыщи будет. А она опять мне: «Вы, пожалуйста, не подумайте, Василиса Мироновна, что я эти деньги чем дурным нажила...» Ну, рассказала там про киятры свои и всякое прочее, а я ничего не говорю, потому по ее это хорошо, а по-моему, так куда непригоже...

— Ну, тут и самый этот случай вышел... Ушла я в свою переднюю избу, помолилась и легла. Только лежу я это на лавке, а сама думаю. *«Не гоните меня...»* — так вот и стоит в ушах. Сотворила молитву, стала о другом думать, — нет, нейдет это самое слово из ума, хоть ты што хошь! Только слышу, кто-то босиком по сенкам ходит, а потом рукой скобку и ищет... Тихо ночью-то, слышно все. Привстала я, думаю, уж не лихой ли человек. Ну, а она дверь-то и отворила.

— Кто — она?

— Да говорят тебе, Евмения-то... Она самая.

Как я ее уложила, в том и пришла: рубашонка одна на ней, босиком... Ну, я и притворилась, что сплю. Думаю, что дальше будет. Вот она огляделась в избе-то, увидала меня и сейчас ко мне. Встала этак возле самой лавочки на коленки, наклонилась надо мной и смотрит. Потом и давай будить: «Василиса Мироновна! Василиса Мироновна!..» Ну, я сделала вид, что проснулась, и спрашиваю: «Что, голубка?.. Может, испить захотела?» Она тут как-то вся даже затряслась, обняла меня, прижалась ко мне к самому лицу и шепчет: «Василиса Мироновна, мне страшно, — я боюсь!» — «Ах ты, говорю, глупая, чего же ты испугалась?» А она мне: «Василиса Мироновна, голубушка, я скоро умру, — страшно мне». — «Чтой-то, говорю, милушка, зачем прежде смерти умирать...» Ну, стала я ее утешать, уговаривать, а она все только головкой качает и заливается-плачет, река рекой... Она плачет, и я плачу, так в два голоса и ревем. И то мне в диво стало, что уж очень меня ласкает, целует всю, руки даже мои целует... А потом села ко мне на лавку, прислонилась ко мне головушкой и давай рассказывать. Уж так-то она хорошо да склад-

но мне говорила, что и думать, так не придумать... Да ведь хорошо как!.. Тут и вспало мне на ум, что сиротка она, одна-одинешенька... «Ах ты, умница моя, милушка моя», — говорю я ей, а сама каюсь ей про то, как подумала сперва-то. Так мы цельную ночь, обнявшись, и просидели; она у меня на руках тогда и уснула, хорошо так уснула: ручками раскинула, вся точно распустилась, — не как большие спят, а как дите. Ну, я держу ее на руках-то, а сама дохнуть не смею, чтобы не разбудить ее как... Ах ты, господи батюшко, да не девка ли такая уродилась!.. Так ты не поверишь, теперь вот третий день она у меня живет, а я все как во сне брожу, и так мне хорошо, так весело, точно вот она мне родная дочь, да какая дочь!.. Савве после рассказала я, так тот заплакал... И тоже заполонила она его, хоть он и ворчит. Вот поди ты, уродится же такое детище приворотное. А днем-то опять все на голове ходит, да еще вздумает по-своему, по-киятральному представить... Однова так нас напугала, так напугала, — думаем, рехнулась наша девка. Савва-то даже перекрестился... А она как захохочет... Только не жилица она, —

печально прибавила Василиса Мироновна. — Дотянет-нет до весны… И Савва-то ведь как ей рад, право! Сидит даве утром и говорит: «А где, говорит, наша богоданная дочка?..»

Золотая ночь

(Из рассказов о золоте)

Глава 1

— Ну, а я за вами… — говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату. — Одевайтесь и едем.

— Куда?

— Говорю: одевайтесь… У меня и лошадь у ворот стоит.

Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному: в высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая широкоплечая фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а ши-

рокое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрелой кожей свидетельствовало о вечных странствованиях по лесам и болотам, несмотря ни на какую погоду. Окладистая, подстриженная русая бородка, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той храбрости и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные сибиряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал, и постоянно размахивал своими короткими жирными руками.

— Ну, что же вы еще стоите? Говорю русским языком: лошадь за воротами стоит...

— Куда же ехать-то?

— А какое у нас сегодня число? Двадцать седьмое апреля... Так? А через три дня что у нас будет? Не догадываетесь?

— Первое мая будет... но из этого еще ничего не следует.

— Ах, боже мой, да где же это вы живете? На луне, вероятно... Весь город ждет этого первого мая, как христова дня, а вы вот тут

сидите да мух ловите. Говорю: одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу...

— На заявку?

— Наконец-то догадались... Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая и не дождаться.

— А далеко ехать?

— Ну, верст сто с хвостиком будет... на Причинку покатим, да!.. Небось, слышали уж о такой речке? Да, золото руками бери... Турфов всего пол-аршина вскрывать. Говорю: богачество!..

В подтверждение своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай являлся тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной Пятачковой даче, про которую давно ходили слухи, как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая

молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в своего рода Эльдорадо.

— Кстати, захватите с собой ружье — отличная тяга, — предупреждал меня Флегонт Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку. — Сплошной лес на шестьдесят верст. Лосей видимо-невидимо... Одним словом, прокатимся в свое удовольствие, а лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке.

Мои сборы были непродолжительны, благо лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегонт Флегонтович озаботился заранее. Оставалось захватить кожан, на случай дождя, да ружье.

— А как погода, Флегонт Флегонтович? — спросил я, набивая походную сумку папиросами.

— В лучшем виде: тихо и ясно по барометру... Может, утренничек прихватит, ну, да это пустяки. А какие теперь ночи в лесу — роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на Причинке-то... Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привыч-

ное. Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе. Уж этот мне ваш город...

У ворот нас дожидалась пара гнедых «киргизов», заложенных в коробок. Кучер Вахромей сидел на козлах в широком татарском азяме и в триповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид Вахромею можно было дать лет пятьдесят: сгорбленный, худой, с черной, как у жука, головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса — воронова крыла; словом, он являлся выродком в славянской семье. Про таких черных выродков говорят, что их «цыгане потеряли». По характеру Вахромей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век бог знает что думают себе под нос.

— Эх, лихо прокатимся, — проговорил Флегонт Флегонтович, грузно влезая в коробок. — Вон погодье-то какое стоит...

Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш

коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шарташскому озеру. Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на купеческую руку.

— Вон как у нас золото-то подымает людей, — проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в голосе. — Из грязи да прямо в князи так и лезем... Поторапливай, Вахромей, нам еще засветло нужно поспеть в Сосунки.

Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.

Глава 2

Екатеринбург — бойкий промышленный город уже сибирского склада. Здесь нет чиновничества, как в других городах, дворянство не играет никакой роли, зато всем ворочают промышленники. Последнее особенно заметно по характеру построек: на каждом шагу так и лезут в глаза хоромины екатеринбургского «обстоятельного» купечества и целые дворцы разных воротил по части спирта, хлебной торговли, сала и разной другой бла-

годати. Там и сям подымаются новые постройки и все в том же неизменно-купеческом духе. Барина совсем не видно, за исключением двух-трех адвокатов да банковских дельцов, но и те начинают жить на купеческую руку, плотно и с расчетом. Сибирь не знала крепостного права, и настоящие «господа» попадают туда только в качестве администраторов, на особых основаниях или по независящим обстоятельствам. Во всяком случае, вся Сибирь — промышленная, купеческая сторона, и Екатеринбург является ее первым аванпостом.

Наш коробок катился мимо богатых церквей, потом обогнул старый гостиный двор и по широкой плотине, с которой открывается почти швейцарский вид на загородные дачи, перебрался на другой берег довольно широкой реки Исети. С горки, от здания окружного суда, вид на город почти необыкновенный, в смысле «настоящей» Европы: широкий пруд окаймлен гранитной набережной; в глубине его тонут в густой зелени дачи; прямо — красивый собор, направо — массивное здание классической гимназии, налево — целый ряд

зданий с колоннадами — это помещение горного управления.

Сейчас же под плотиной пустующие корпуса упраздненного монетного двора и гранильной фабрики. Здание окружного суда в вычурном мавританско-готическом стиле. Впереди довольно порядочный бульвар, здание городского театра, магазины и т. д. Словом, бойкий и веселый город, в котором жизнь бьет ключом. Было часа два пополудни, и нам навстречу попадались то и дело городские экипажи, извозчичьи дрожки, простые телеги и роспуски; по тротуарам сновал бойкий городской люд, спешивший по своим делам. Флегонт Флегонтович несколько раз раскланивался направо и налево и непременно комментировал каждую встречу.

— Видели на серой в яблоках? — шепотом спрашивал он. — Тоже на Причинку метит, да шалишь, не надуешь... Ха-ха! Это Агашков, Глеб Клементьич, проехал. А давно ли был яко благ, яко наг, яко нет ничего... Много их тут зубы точат на Причинку, только уж извините, господа, вам Флегонта Собакина не провести. Да!.. Будет и на нашей улице празд-

ник... Так ведь?

— Конечно...

— Знаете, я верю в звезду, — заговорил Флегонт Флегонтович, глубже натягивая на голову круглую ратиновую шапочку. — Все игроки суеверны, а наша золотопромышленность самая азартная игра.

— Позвольте с вами не согласиться в этом случае...

— Но ведь я говорю о настоящих золотопромышленниках, понимаете, о настоящих... Да. Мало ли нашего брата плутов и мошенников, которые только прикрываются приисками. Я, дескать, золотопромышленник, а сам черт знает какими делами занимается. Э, да что тут толковать!.. Надеюсь, мы хорошо понимаем друг друга.

Мы выехали за город. Кругом было голо и желто. Трава еще не думала пробиваться, а березы стояли голыми метелками. Наш коробок мягко катился по укатанной глинистой дороге, забирая в гору. В стороне зеленел сосновый мелкий лесок.

— Стой! — крикнул Флегонт Флегонтович и, как мячик, выскочил из коробка на дорогу.

Спустившись в канаву, он набрал несколько камешков и вернулся с ними в экипаж.

— Вот не угодно ли вам полюбоваться, — торопливо говорил он, рассматривая несколько кусков ноздреватого кварца. — Это что такое, по-вашему? Кварц... Какой кварц? Настоящий золотой кварц... Уверяю вас, что правда. Уж эту музыку мы отлично знаем... Можете быть уверены, что мы сейчас едем по чистому золоту. Ей-богу! Бывает белый кварц, плотный, ну, тот нам не рука, хотя в нем попадаются самородки, а вот такой кварц с ноздринками да со ржавыми натеками — наверняк золото. Да ведь здесь кругом золото, куда ни повернись. Вон в Невьянске или в Верхнейвинске прямо в огородах золото копают...

Флегонт Флегонтович был замечательный человек в том отношении, что являлся представителем чистого искусства; он был тем настоящим золотопромышленником, который, кроме своего золота, ничего не хочет знать. Такими «настоящими» бывают только картежники да пьяницы. Это качество Флегонт Флегонтович ценил в себе и в других выше

всего на свете и с этой точки зрения смотрел на целый мир. Записные охотники так же разбирают породистых кровных собак, выражаясь технически: «есть кровь» или «нет крови» в данной единице. Из купеческой семьи по происхождению, Флегонт Флегонтович выступил на широкое поле золотопромышленности с довольно кругленьким капитальцем, который и закапывал несколько раз и несколько раз возвращал. Образования он никакого не получил, но сильно поошлифовался в пестрой среде золотопромышленников, где немалый процент составляют настоящие образованные люди или просто люди, видавшие всякие виды.

Превращения, которым подвергался Собакин, были самые удивительные, и он то не имел гроша за душой, то катался на паре наотлет, что у нас служит самым верным признаком «дикой» копейки. Как умел он вывертываться в крайних случаях — один бог знает, но Флегонт Флегонтович продолжал верить в свою счастливую звезду и, в случае возникавших сомнений, постоянно указывал на примеры разбогатевших золотопромыш-

ленников, которых на Урале не занимать стать. Эта вера в свои силы являлась самой надежной опорой в тревожной жизни Собакина, который на свое настоящее всегда смотрел как-то сверху, как только на переходное состояние, за которым уже должно последовать настоящее житье. Мало ли людей на всевозможных поприщах утешаются подобными иллюзиями и совершенно несбыточными мечтами, но они уже счастливы преисполняющей их энергией. Как за всеми отпетыми игроками, за Собакиным водились особенности: чем дела его были хуже, тем по наружному виду он казался спокойнее и веселее и просто сыпал самыми смелыми проектами и грандиозными надеждами. В настоящем случае, слушая рассказы Флегонта Флегонтовича о неистощимых сокровищах реки Причинки, я был уверен, что у него не было ни гроша за душой и он ставил ребром последнюю копейку. Это предположение совершенно оправдалось, когда мы разговорились о прошлом годе.

— Прошло лето я на севере работал, — рассказывал Собакин таким тоном, точно он заговорил о постороннем лице. — Далеко, за Бо-

гословскими заводами... Вот сторонка, скажу я вам! Особенно одолевали комары — житья от них нет, от проклятых. Если бы кто посмотрел на нас на работе — смех, точно маскарад какой... Ей-богу! У рабочих котелки с куревом за поясом, на рожах просмоленные сетки, а мы щеголяли в такой штуке, что и сказать смешно: сделаешь из картона круглую коробку, проковыряешь в ней две дырочки, на голову наденешь, да так чучелом гороховым и бродишь по прииску. Ха-ха... Чисто как в театре! Только уж и тварь же этот комар, ей-богу, в тысячу раз хуже волка или медведя... Ну, работа у нас хорошо пошла, только шахту пришлось глубокую пробивать, а пробили — вода одолела. Откачивать руками воду — сила не берет, а за паровой машиной надо к чертям на кулички ехать да еще тащить ее по болотам да по топям чуть не на своей спине. Побился-побился и бросил. Признаться сказать, дорогонько мне обошлось это удовольствие — комаров-то кормить, ну, да вот, слава богу, эта самая Причинка подвернулась — все наверстаем. Главное, вот что забавно: хлопочем, бьемся, ищем золото черт знает где, за четы-

реста, за пятьсот верст, а оно под носом... Вот и поди ты с нашим братом, толкуй!.. В четвертом году я опять в киргизской степи работал, верст за восемьсот унесло отсюда; ну, золото нашлось, и хорошие знаки, а как лето-то подошло — воды ни капли... Тут уж сжатым воздухом, говорят, нужно работать, а где я его возьму, этот самый сжатый воздух? Так и пришлось бросить... То вода долит, то без воды сидишь.

Относительно Причинки Флегонт Флегонтович питал самые розовые надежды и строил очень широкие планы, причем ссылался на имена очень веских лиц в купеческом мире, обещавших ему свое содействие, помощь, кредит и т. д. Из его слов получался такой вывод, что все предшествовавшие работы были только сплошным рядом всевозможных ошибок, но зато теперь он, Флегонт Собакин, достаточно умудренный тяжелым опытом, будет бить наверняка и уж маху не даст ни в каком случае.

— Одно меня удивляет, — философствовал он, пуская струйки табачного дыма, — как только деньги завелись у тебя, пошли дела на

лад, откуда народ берется: тот приятель, другой друг, третий еще лучше того. Некоторые пеняют, зачем к ним за деньгами не обратился, когда нужно было. Один лучше другого... А как пошатнулись делишки, все и отвалят, как от покойника. Ей-богу! Меня лишь то удивляет, как это все успеют люди пронюхать да разузнать: сидишь в лесу, в трущобе, а явишься в город — тут уж все известно, точно они по духу знают. Я не осуждаю, потому все мы люди — человеки, а только очень мне это удивительно кажется. И с другими то же самое.

Глава 3

По широкой заводской дороге мы проехали всего верст пять и затем свернули влево, на какую-то лесную глухую тропу с едва заметным колесным следом.

— Мы напрямки прокатим в деревню Сосунки, — объяснял Флегонт Флегонтович, — а там меня уж дожидается доверенный с партией, а другой доверенный тоже с партией ждет в Причинке. Настоящей дорогою ехать — крюк будет верст в десять, а лесом — рукой подать.

Наша «прямоезжая» дорога бойко вилась

по лесистой равнине, постепенно понижавшейся к северу. По сторонам дороги вставал редкий болотный сосняк, изредка попадались островки березняков и смешанный лес; следы хищнической работы человека попадались на каждом шагу, и на месте когда-то вековых вогульских лесов теперь едва сохранились жалкие остатки, точно арьергард разбитой армии. Кое-где и этот жалкий лес совсем редел, образуя широкие лысины — это были свежие поруби, где среди куч не успевшего еще покраснеть хвороста торчали без всякого плана сложенные поленницы веснодельных дров. Близость города с тридцатитысячным населением сказывалась в этой печальной картине разрушения, а там новые поруби и десятки свежих пней, и бессильно лежащие на земле вершины сосен, точно отрубленные головы.

Лес еще стоял на зимнем положении, несмотря на объявленную календарями весну. Ни сосна, ни ель еще не дали свежих побегов, а земля была покрыта прошлогодней высохшей бурой травой, из-под которой только кое-где сочилась вода да изредка пробива-

лись красивые бледно-желтые цветы с зелеными мохнатыми ножками и усиками. В этом мертвом лесе, пожалуй, была своя поэзия, но непривычному человеку как-то становится в нем грустно и тяжело, как в пустом доме, из которого только что вынесли покойника. Даже говорливый и всегда веселый Флегонт Флегонтович заметно притих и, кажется, вздремнул под мерное покачивание нашего гибкого экипажа. Впрочем, он скоро оживился, когда лошади начали спускаться в какой-то лог, по дну которого бурлила мутная речонка. В глинистом берегу было вырыто несколько ям правильной формы, вроде могил; две были совсем свежие, и вырытый песок еще не успел просохнуть, а другие были завалены хворостом.

— Ишь, старатели как землю роют, — любовно заметил Флегонт Флегонтович, опытным глазом рассматривая работу. — Точно свиньи ходили... Все золото ищут. Только и отпетый, скажу я вам, народ и дело свое ух как знают: продадут и выкупят. По всему Уралу таких вот шурфов сколько они в год сделают — миллионы. И найдут золото, уж поверь-

те мне! Где, кажется, и подумать нельзя, чтобы золоту быть, а старатель выкопал ямочку — глядишь, оно и полезло. Здесь по всем деревням уж такой народ живет, сызмальства около золота ходит. Взять хоть Сосунки, Причину, все деревнюшки по Ключевой и Сулатам, да вообще восточный склон Урала до самых степей. И плуты при этом страшные, надо им честь отдать, ну, да мудрено нашего брата и судить — и мы им не пирогами откладываем.

На солнозакате мы выбрались на берег реки Ключевой, которая здесь была очень не широка — сажен пять в некоторых местах; летом ее вброд переезжают. Теперь на ней еще стоял лед, хотя на нем чернели широкие полыньи и от берегов во многих местах шли полосы живой текучей воды. Место было порядочно дикое и глухое, хотя начали попадаться росчисти и покосы; тропа, наконец, вывела на деревенскую дорогу, по которой мы и въехали в Сосунки, когда все кругом начало тонуть в мутных вечерних сумерках.

— Заворачивай прямо к Гавриле Иванычу, — приказывал Флегонт Флегонтович. —

Мы у него заночуем.

Сосунки, деревушка дворов в двадцать, не поражала своей внешностью. Покосившиеся избы, дырявые крыши и развалившиеся огороды плохо рекомендовали ее обитателей, известных в городе и окрестностях под сокращенным названием «сосунят». Все отпетый был народ, промышлявший изо дня в день и никогда не знавший, чем будет сыт завтра. Кривая старинная улица, вдоль которой избы рассажались, как гнилые зубы, вывела нас в центр деревни, где коробок и остановился у высокой избы с новыми воротами. На лай собак показались в окне две головы; ворота отворились, и мы въехали во двор, грязный и маленький, с какими-то трухлявыми развалинами вместо служб. Отворивший нам ворота мужик и был сам Гаврила Иванович, плешивый сгорбленный старик в заношенной ситцевой рубахе, в пестрядинных портах и босиком.

— Ну, голова с мозгом, как дела? — спрашивал Флегонт Флегонтович, вылезая из коробка. — Где наши?

— Куда им деваться-то... — как-то нехотя

отвечал Гаврила Иванович, моргая подслеповатыми крошечными глазками.

— Небось пьянствуют? Ох, чует мое сердечко, что все они лыка не вяжут, а завтра в поход надо... Утром рано надо, чтобы к обеду поспеть в Причину.

— Ничего, продыбаются дорогой, — коротко ответил Гаврила Иванович, поправляя ослабнувший на животе пояс. — Балованный народ ноне пошел, вот и пируют... Чай пить будешь, Флегонт Флегонтыч?

— Конечно, будем чаевать. Пока лошади выстаиваются да пока есть будут, мы еще и выспаться успеем... А где Метелкин?

— Да уж не знаю, как тебе и сказать... пожалуй, серчать будешь. Солдатка тут есть у нас, ну у ней и хороводится с нашими сосунками...

— Так и есть, так и есть!.. Ведь я же говорил русским языком, что буду сегодня непременно и чтобы ждали меня... Ах, ты, господи, согрешил я с ними!

— Как не ждать, до самых вечерень ждали... Ничего, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь, продыбаются. Дорога тоже не малая,

продует...

Лицо у Гаврилы Ивановича было сморщенное и почти коричневое от работы на солнопеке; жиденькая бородка с пробивавшейся сединой украшала нижнюю часть лица какими-то клочьями, точно была усажена болотными кочками. Тонкий нос и свежие ровные зубы являлись на этом старческом лице резкой особенностью и совсем не гармонировали с опустившейся, точно расшатанной фигурой. Когда Гаврила Иванович начинал говорить, густые черные брови у него поднимались и лоб покрывался тонкими морщинками. На первый раз старик не внушал к себе особенного доверия, видно было сразу, что этот мужик себе на уме.

— Золотая голова, — коротко отрекомендовал Собакин старика, когда тот отправился собирать гулявшую по деревне партию. — Конечно, пальца в рот не клади, зато и дело знает так, что комар носу не подточит... Лет пятьдесят золото роет и раза три уж в остроге отсидел за него.

По своему положению Сосунки были глухою лесною деревней, и можно было бы ожи-

дать, что здесь все постройки будут из нового крепкого леса, но не тут-то было — все избы, как на подбор, глядели какими-то старыми грибами, и только в двух-трех местах желтели новые крыши и то из драниц, а не из тесу. Гаврила Иванович придерживался общего распорядка и проживал в очень старой избе, в которой по зимам, наверно, было страшно холодно. О надворных пристройках я уже говорил.

В одном углу лежала худая корова и, закрыв глаза, сосредоточенно прожевывала жвачку; у какой-то вросшей по уши в землю амбарушки рвалась на короткой цепи пестрая собачонка. Посредине двора стояла приисковая таратайка — двухколесная тележка с откидным дном. Где перебивалась скотина зимой — я не мог отыскать подходящего места. Перед окном избы лежало два сухих бревна, точно обгрызенных с обоих концов, — такие бревна из сухарника лежали и у других изб и заменяли «сосунятам» поленницы дров. В лесных глухих деревнях, где лес под боком и где, кажется, можно было бы запасти дров вовремя, все существуют «от бревна», то есть

ребятишки или бабы отгрызут от бревна аршин, расколют — вот и целое топливо, а назавтра та же история. Между тем эти же «сосунята» поставляют в город ежегодно сотни сажен дров.

Внутренность избы Гаврилы Ивановича являлась как бы продолжением того, что было на дворе, — уж очень было в ней и пусто и голо, точно сюда семья переехала только на время. Для «золотой головы» такая странная обстановка была плохой рекомендацией. Нас встретили за порогом два белоголовых мальчика, которые сейчас же и забрались на полати. У печки возилась с самоваром, вероятно, сноха Гаврилы Ивановича, молодая, но очень худая женщина с землистым цветом лица; у окна с прялкой сидела какая-то старуха в синем изгребном дубасе и, не торопясь, тянула бесконечную нитку.

— Здравствуй, баушка, — поздоровался Флегонт Флегонтович. — За вашим золотом вот приехал...

— В добрый час, Флегонт Флегонтыч... Наше золото никому не заказано, милый человек. Только вот сосуны-то наши третий день

пируют без тебя, и Степка наш тоже.

— Слышал, баушка.

— Вечор жену принялся было поленом охаживать, едва отняли бабенку... Это ваше золото самое, Флегонт Флегонтыч, нашей сестре больно дорого приходится: скружились с ним наши-то мужики, совсем скружились...

Когда поспел самовар, в избу вошел Гаврила Иванович; он что-то ворчал про себя и сердито плюнул в сторону.

— Ну что? — коротко спросил Флегонт Флегонтович, ставя на стол налитое чаем блюдечко.

— Не спрашивай... Как тараканы, все по деревне расползлись, способу никакого нет. Ну и народ... Степушка-то мой увязался за твоим Метелкиным, ну, я ему немножко тово, в затылок насыпал, чтобы помнил отца-то. А он одно мелет: «Тятенька, я рупь за каждый день получаю и могу себя уважить»... Помешался парень на рубле, да и другие тоже. Оно точно, что любопытно рубли-то получать, на боку лежа, вот и спятили все с ума.

— Ох, уж мне эти ваши сосунки! — стонал Флегонт Флегонтович, патетически хватаясь

за голову. — Платишь им поденщины по рублю, а они только пьянствуют...

— А по другим местам разве лучше нас? — заступился Гаврила Иванович, подсаживаясь к самовару. — Взять хоть ту же Причину, да эти причинные мужики с кругу спились, потому уж такая рука им подошла: народ так и валит на Причинку, а всем надо партию набирать; ну, цену, слышь, и набавили до двух целковых. У тебя в Причине тоже ведь партия ждет?

— Партия, Гаврила Иваныч... Там мой компаньон Пластунов всем орудует. Не знаю уж, как он там с причинными мужиками поправляется.

— Бог не без милости, Флегонт Флегонтыч...

Все время за чаем разговор продолжался в том же тоне, причем Флегонт Флегонтович сильно волновался, размахивал руками и несколько раз принимался ругаться на чем свет стоит — ругаться в пространство, чтобы только душу отвести. На дворе давно стояла весенняя голубая ночь с высоким молодым месяцем; где-то лаяла собака и слышался сме-

шанный гул пьяных голосов. В нашей избе горел сальный огарок, тускло освещая неприглядную внутренность избы Гаврилы Ивановича: передний угол, оклеенный остатками обоев, с образом суздальской работы; расписной синий стол с самоваром, около которого сидела наша компания; дремавших около печки баб, белевшие на полатях головы ребятишек, закопченный черный потолок, тульское ружье на стенке с развешанным около охотничьим прибором и т. д.

— Ты бы прилег, касатик, на лавочку да соснул малость... — проговорила старуха, обращаясь ко мне. — Утре рано подымутся.

Мне оставалось только воспользоваться хорошим советом, потому что сон действительно начинал сильно одолевать. Я примостился на лавочку, положив под голову пальто, и скорехонько заснул тяжелым крепким сном, каким спится только в дороге. Пахло чем-то кислым и смазанной дегтем кожей; в дверь постоянно входили и выходили; по стенам и потолку мигали широкие тени; где-то далеко-далеко, точно под землей, пропел петух... Дальше уже все смешалось: Флегонт

Флегонтович кого-то опять ругал и несколько раз выскакивал на улицу, кто-то и в чем-то оправдывался слезливым голосом, потом был какой-то шум, точно в избу Гаврилы Ивановича вносили тяжелый рояль.

Глава 4

Рано утром на другой день, еще «на брезгу», мы оставили Сосунки. Весеннее холодное утро заставляло неприятно вздрагивать, и я напрасно кутался в свое осеннее пальто — чисто весенняя изморозь так и пронизывала насквозь, заставляя зубы выделывать дробь. Переход из теплой избы на мороз, когда хотелось спать мертвым сном, делал наше путешествие очень неприятным.

— Мы теперь на Причину поедем прямыми дорогами, — объяснял Собакин, отчаянно зевая. — И во времени расчет, да и рабочим меньше соблазна в лесу.

— А далеко будет?

— Да верст сорок с хвостиком...

Ездить прямыми дорогами было слабостью Флегонта Флегонтовича, привыкшего шататься по всевозможным лесным трущобам, и другим оставалось только покориться

этой слабости, хотя Гаврила Иванович, кажется, предпочитал сделать объезд.

Сосунки скоро остались позади с своими гнилыми избушками, и мы поехали вниз по течению Ключевой, по довольно торной дороге, с которой свернули в лес. На облучке нашего коробка, рядом с молчаливым, как пень, Вахромеем, поместился Гаврила Иванович, надевший толстый чекмень и заношенную баранью шапку. За нами полз маленький обоз с партиею, то есть две телеги, из которых на одной везли провиант и инструменты, а на другой рабочих.

Последняя телега представляла самую живописную картину, точно нагружена была телятами: не проспавшиеся со вчерашнего хмеля «сосунята» сидели в самом тяжелом молчании и только в такт попадавшимся выбоинам и кочкам болтали свешенными из-за телеги ногами. Метелкин, неопределенных лет человек, в одном плисовом пиджаке и в ярко-красном шарфе на шее, шагал за телегой по стороне, стараясь согреться ходьбой. Издали я мог прежде всего рассмотреть нетвердую разбитую походку; черная поярковая шляпа откры-

вала бледное чахоточное лицо с черными большими глазами, большим носом и редкой козлиной бородкой. Флегонт Флегонтович по временам оглядывался на своего провинившегося поверенного и улыбался.

— Продыбаются, Флегонт Флегонтыч, — ответил на эту улыбку Гаврила Иванович, тоже наблюдавший наш обоз. — Оно по холодку-то даже вот как преотлично... Вон как Метелкин-то наш задувает.

— Ведь вот какой народец! — заговорил Флегонт Флегонтович. — На маковую росинку ничего нельзя поверить, хоть того же Метелкина взять... Который год я с ним маюсь, а без него не могу — и привык, да и дело свое он отлично знает.

— Простудится он в одном пиджаке.

— Метелкин-то? Да он в этом пиджаке зимой верст по сорока уходит, а теперь ему что — шутка... Ничего его не берет, такой уж человек. А сосунята-то, нечего сказать, хороши, только головами мотают...

С каждым шагом вперед мы забирались в настоящую лесную пустыню, где не встретишь жилья на расстоянии шестидесяти, да-

же восьмидесяти верст, за исключением двух-трех лесных кордонов. Лес делался выше, наша дорога превратилась в едва заметную тропу с заросшей колеей. Из лесных пород господствовала сосна, лишь изредка попадались березовые да осиновые гривки. Меня особенно поражало необыкновенное количество попадавшегося в лесу валежника и стоявших лиственных сухарин. Ель совсем не попадалась, хоть на Урале в таких болотистых низменностях обыкновенно растет самый дремучий ельник. Гаврила Иванович объяснил, что в допрежние времена здесь все рос сплошной ельник, а потом был пожар, и после пожара пошла вот сосна да березняки. Громадное количество валежника объяснялось тоже старым лесным пожаром.

— Дикая сторона была совсем, — пояснил Гаврила Иванович, точно теперь стояла не та же лесная глушь, едва тронутая человеческим жильем.

Пятачковая казенная дача занимает широкую и болотистую низменность в двести тысяч десятин; широким краем она уперлась в речку Ключевую, а к северу вышла непра-

вильным углом. На всем пространстве этой дачи встречается только одна небольшая возвышенность — гора Липовая, что в таком близком соседстве с главною массой Уральского кряжа является очень странным. Обыкновенно все подгорья, особенно восточный склон Урала; усеяны отрогами и гористыми возвышенностями.

Пятачковая дача являлась каким-то исключением. Десятки болотистых озер и «озеринок» попадаются на каждом шагу, давая начало десяткам болотистых речонок, которые постепенно сливаются в три главных реки — реку Ключевую, Малый и Большой Сулат. Наделавшая шуму речка Причинка была притоком Большого Сулата в том месте, где он делал широкую петлю на север, а потом круто поворачивал к юго-востоку; на стрелке, где сливались эти реки, стояла деревушка Причина, куда мы теперь ехали. Население Пятачковой дачи, за исключением двух-трех лесных кордонов, жалось по краям, и только несколько починков и деревушек рассажалось по течению Ключевой и обоих Сулатов.

До сих пор Пятачковая дача служила толь-

ко запасом горючего и строевого материала, специально для казенных горных заводов, а теперь, с постепенным упразднением казенного производства, она пустовала лет десять, пока золотопромышленники не выхлопотали доступа в нее. Сложилось что-то вроде басни о скрытых сокровищах Пятачковой дачи, и сюда теперь устремились сотни предпринимателей с желанием выхватить лучшие куски.

Мы проехали верст пятнадцать; совсем рассветало, но солнце не показывалось — день наступил серый и с легким ветерком, игравшим по вершинам сосен. Наш обоз растянулся на полверсты, и мы часто теряли из виду следовавшие за нами подводы. Обогнули заросший кустарником низкий берег какого-то озера, переехали выбегавшую из него безыменную речонку, причем лопнул тяж у нашего экипажа. Произошла небольшая остановка. Кучер Вахромей угрюмо выругался и без всякой причины полоснул хлыстом щеголевато перебиравшую ногами пристяжную. Гаврила Иванович помог наладить случившуюся поруху и, когда мы тронулись в путь, не

сел на облучок, а зашагал мерными мужицкими шагами по стороне. По дороге он сорвал веточку рябины и принялся ее жевать, сплевывая накоплявшуюся во рту горечь тоненькой струйкой сквозь зубы, как плюют цивилизованные кучера и лакеи.

— Здесь не ускочишь, Флегонт Флегонтыч, — говорил он, догоняя нас тяжелой рысцой. — Мочежинки все пойдут, а летом в ненастье здесь такие пачки да зыбуны стоят — не приведи господи.

Пачками и зыбунами называют на прямоезжих дорогах такие места, где экипаж и лошадей вязкая почва совсем засасывает, так что их приходится добывать бастрыгами. Теперь земля еще не совсем растаяла, и в «сумлительных» местах только подозрительно покачивало, точно экипаж ехал по какому-то подземному нарыву, который вот-вот лопнет. В одном месте шумно сорвался матерый глухарь и стрелой, низко и тяжело полетел в саму чащу, точно брошенный сильной рукой тяжелый камень; затем спугнули несколько рябчиков и до десятка дупелей. По сторонам без конца вставали все те же сосны, попадал-

ся тот же валежник; где-то далеко куковала кукушка. Сосновая хвоя глухо шумела, когда набегал ветерок, а потом опять наступила мертвая, тяжелая тишина.

— Сказывают, Дружков проехал на Причину, — неожиданно проговорил Вахромей, нарушая царствовавшую тишину.

— Кто сказывает-то? — вскипел Флегонт Флегонтович, выпуская из зубов дымившуюся сигару.

— Да люди сказывают... Ночью прямыми дорогами проехал Дружков, а час места и Кривополов.

— Что же ты, идол, молчал до сих пор... а? Где ты раньше-то был... а?.. «Сказывают... сказывают...» Тьфу!.. С партией проехали?..

— Сосунята видели...

— Господи, а мы-то ползем... Гаврила Иванович, слышал?.. И ты, поди, тоже слышал про Кривополова и молчишь?..

— Оно, точно, болтали промежду себя, Флегонт Флегонтыч... — уклончиво ответил Гаврила Иванович, стараясь шагать в стороне от нашего экипажа. — На четырех подводах, болтают, Дружков проехал, а потом уж Кривопо-

лов.

— О господи... За чьи только грехи я мучусь с вами?! — яростно возопил Флегонт Флегонтович, поднимая руки кверху, как трагический актер. — Ну, Вахромей молчит — у него уж такой характер, всегда пень пнем, а ты-то, ты-то, Гаврила Иваныч?!.. Ведь я на тебя, как на каменную стену, надеюсь! Что мы теперь будем делать, если они опередят нас?.. Ну, говори?.. Кто их проведет прямой-то дорогой?

Гаврила Иванович только жевал губами и несколько раз поправил свою баранью шапку: дескать, «вот вышла же этакая оказия, в сам-деле»...

— Может, заплутаются еще по лесу-то, Флегонт Флегонтыч, — проговорил, наконец, старик в свое оправдание. — Тоже дивно места надо проехать, а дорога вон какая... не ускочишь. Ей богу, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь.

— Идолы вы, вот что! «Не сумлевайтесь!» — кричал Флегонт Флегонтович, размахивая руками. — Это мы дурака-то валяем, а небось, Кривополов с Дружковым опередили

нас... Ах, господи, вот еще наказанье-то!..

Чтобы сорвать на ком-нибудь свое расходившееся сердце, Флегонт Флегонтович накинулся на Метелкина, причем с логикой рассердившегося человека всю вину взвалил на него, потому что, если бы он, Метелкин, держал партию в порядке и сам не пьянствовал, тогда мы вчера бы еще в ночь отправились в Причину. Метелкин отмалчивался с виноватым видом, что еще более сердило Флегонта Флегонтовича.

— Ведь вот нар-родец... — проговорил Флегонт Флегонтович, устало откидываясь на спинку экипажа. — Слышали? Все хороши... А между тем... Уж я не так бы распек Гаврилу Иваныча, да теперь нельзя — от него все зависит. Пожалуй, еще рассердится да бросит в лесу, тогда хоть назад ворочайся. Признаться сказать, местечко-то у нас на Причине уж давненько присмотрено, теперь только его взять остается... Есть в Причине один мужик, так он совсем бросовый — Спирька Косой. Ну, через этого Спирьку мы на место натакались... собственно, Гаврила Иваныч. Конечно, и Спирьке и Гавриле Иванычу благодарность

известная, ну, уж это у нас такой порядок, вроде награды выдаем за хорошее место. Вот я и того, боюсь ссориться с Гаврилой-то Иванычем, потому — нужный человек. А все-таки, согласитесь, какой народ: все слышали и молчат... Уж сумеют напакостить. Да... Какую цену дерут с нас за эту ночь вот простые этакие мужики, вон головами-то болтают, которые на задней телеге, потому — чувствуют, что без них нельзя...

У Собакина, как и у многих других, была слабость сделать дело не как другие делают, а наособицу, при помощи какого-нибудь нужного человека. У него всегда был на примете такой человечек, и он надеялся именно на него. Это было своего рода суеверие, но золотопромышленники не отличаются отсутствием предрассудков и всегда рассчитывают все приметы: тяжелые и легкие дни, встречи, сны и т. д. К числу таких предрассудков можно отнести и слепую веру в разных особенных человечков, через посредство которых можно сразу ухватить настоящий кус. Конечно, в подтверждение приводится масса соответствующих примеров: такому-то указал место

башкир, а такому-то пьяница-старатель, ну, отчего же и Спирька Косой не мог облагодетельствовать?.. Может быть, это опоэтизированная точка зрения на жизнь вообще, и, вероятнее всего, такая вера выработалась самой жизнью, когда завтрашний день вечно стоит вопросительным знаком.

— Вам-то все это смешно, а мы даже очень хорошо знаем все эти приметы... да-с! — говорил Собакин с уверенностью испытавшего человека. — Я даже записывал эти приметы, и все выходило по ним.

— Отчего же в Америке, например, золотопромышленники обходятся без примет, а надеются только на свои знания и на энергию?

— Э, батенька... славны бубны за горами. Наверно, и у них свои приметы есть... Уж извините, чтобы так, простону, нет, что-нибудь да есть... Конечно, оно глупо немножко верить, что вот заяц перебежит дорогу — и кончено, а если оно так выходит...

В подтверждение своих слов Собакин рассказал несколько самых убедительных случаев, когда стоило перейти дорогу попу, бабе или перебежать зайцу — и самое верное дело

провалилось.

В одном месте нашу дорогу пересекла свежая колея. По внимательном исследовании было решено, что это проехала какая-то приисковая партия на четырех подводах: след вел от Причины, что много успокоило Флегонта Флегонтовича — все-таки одним конкурентом меньше.

— Может, это Кривополов по лесу блудил? — спрашивал он Гаврилу Ивановича.

— Наверно, он...

Местность кругом мало изменялась — все тот же болотный сосняк, изредка рыжие полянки, потом болотные кочки, валежник и таявшие лужи воды. Переправились через несколько мелких речонок, потом обогнули какое-то широкое озеро с полыньями посредине; небо начало проясняться, и все кругом делалось светлее. Попало еще несколько следов, оставленных проехавшими партиями, но теперь они уже не обратили на себя такого внимания, как раньше, — деревушка Причина была близка, и все были заняты мыслью, что-то теперь там делается: что Пластунов, что Спирька Косой, что другие золотопро-

мышленники.

— Мы в Причине только самую малость опнемся, а потом опять в лес, — говорил Собакин. — Мне нужно не упустить Спирьку, а то как раз кто-нибудь другой перехватит его... Тьфу!.. Ах, проклятый!.. Тьфу!.. тьфу!..

Со стороны выкатил русак, присел, поднял уши и мягкими прыжками, точно он был в валенках, перекосил нам дорогу. Флегонт Флегонтович даже побледнел от проклятой неожиданности...

Глава 5

Причина, как и Сосунки, представляла собой глухую лесную деревушку дворов в тридцать; она стояла совсем в лесу, и трудно было сказать, что заставило ее обитателей выбрать такую страшную глушь. Постройки были старые и разбрелись по берегу речонки Причинки без всякого порядка, точно эти избы были разметаны ветром. Как и в Сосунках, народ здесь тоже жил «от бревна», промышляя охотой, рыбой и золотом. Около изб кое-где стояли городские экипажи и простые телеги — это все были наши конкуренты. Гаврила Иваныч сразу насчитал больше десятка

партий.

— Вот и извольте тут... — в отчаянии проговорил Флегонт Флегонтыч. — Уж чуяло мое сердце...

Мы остановились у крайней, очень плохой избушки, в которой жил Спирька Косой. Наш приезд взбудоражил всю деревню — поднялись собаки, в окнах мелькнули наблюдавшие за нами физиономии, за ворота выскочили посмотреть на приехавших какие-то молодые люди в охотничьих сапогах и кожаных куртках. Какая-то толстая голова кланялась из окна Флегонту Флегонтовичу и старалась что-то выкрикнуть, приставив руку ко рту трубкой.

— А, чтобы тебя черт взял... — ругался неприятно пораженный Собакин. — Это Кривополов... вот тебе и заплутался!

Нас встретил доверенный Флегонта Флегонтовича — Пластунов, совсем еще молодой человек с рыжеватыми усиками; характерное и сердитое лицо, умные холодные глаза и свободная манера держать себя производили на первый раз довольно выгодное впечатление; очевидно, молодой человек пойдет далеко и,

вероятно, недаром пользовался таким доверием Флегонта Флегонтовича. Около избы, на завалинке, сидело человек пять рабочих — это была вторая партия. Из избы доносились какие-то хриплые крики и крупная ругань.

— Ну что? — спрашивал Собакин своего доверенного.

— Пока ничего особенного... — уклончиво ответил Пластунов. — Третьи сутки вытрезвляем Спирьку. Пьянствовал целых две недели...

— Где же он деньги брал? Ведь я ему обещал после заявки четвертную... странно.

— Должно быть, обманул кого-нибудь из золотопромышленников, — объяснял Пластунов. — Теперь у них это везде идет: одно и то же место в трои руки продают. Заберут задатки и пьянствуют...

Это известие сильно встревожило Собакина, потому что под пьяную руку Спирька мог сплавить заветное местечко кому-нибудь другому... Во всяком случае, получалась самая скверная штука.

— Да вот сами посмотрите на него, в каком он виде, — предложил Пластунов, показывая

глазами на избу.

Двора у Спирькиной избы не было, а отдельно стоял завалившийся сеновал. Даже сеней и крыльца не полагалось, а просто с улицы бревно с зарубинами было приставлено ко входной двери — и вся недолга. Изба было высокая, как все старинные постройки, с подклетью, где у Спирьки металась на цепи голодная собака. Мы по бревну кое-как поднялись в избу, которая даже не имела трубы, а дым из печи шел прямо в широкую дыру в потолке. Стены и потолок были покрыты настоящим ковром из сажи.

— Уж я предоставлю... верно!.. — орал кто-то, лежа на лавке. — Предоставлю... на, пользуйся. А кто руководствовал? Спирька Косой... вер-рно...

— Перестань ты грезить-то, — попробовал усовестить Гаврила Иванович. — Ишь, до чего допировался!

— Родимый, Гаврила Иваныч, руководствуй, а я предоставлю... верно! — орал Спирька, с трудом поднимая с лавки свою взлохмаченную черную голову.

— Хорош, нечего сказать... — брезгливо за-

метил Собакин, разглядывая своего верного человека.

Приземистая широкая фигура Спирьки, поставленная на кривые ноги, придавала ему вид настоящего медведя. Взлохмаченная кудрявая голова, загорелое, почти бронзовое лицо, широкий сплюснутый нос, узкие, как щели, глаза, какая-то шерстистая черная бородка — все в Спирьке обличало лесного человека, который по месяцам мог пропадать по лесным трущобам.

— Сконфузил ты нас, Спирька, — заговорил Гаврила Иванович, придерживая валившегося на один бок Спирьку. — Вот и Флегонт Флегонтыч очень даже сумлевается.

— Флегон Флегоныч... родимый мой... ах, господи милостливый... я? Предоставлю, все предоставлю...

— А на какие ты деньги пировал? — допрашивал Собакин. — Ведь я все знаю... Ну, сказывай: обещал еще кому-нибудь местечко-то?

Спирька долго смотрел куда-то в угол и скреб у себя в затылке, напрасно стараясь что-нибудь припомнить; две последние недели в его воспаленном мозгу слились в ка-

кой-то один безобразный сплошной сон, от которого он не мог проснуться. Он несколько раз вопросительно взглянул на нас, а потом неожиданно бросился в ноги Собакину.

— Флегон Флегоныч... ради Христа, прости ты меня... омманул... ох, всех омманул! — каялся Спирька, растянувшись на полу. — У всех деньги брал... Я прошу, а они дают. Омманул всех, Флегон Флегоныч... а тебе одному все предоставлю... владай... твои счастки...

Собакин выругался очень крупно и вышел из избы. О самоваре и других удобствах нечего было и думать, потому что у Спирьки, кроме ружья да голодной собаки, решительно ничего не было.

— Карауль его, как свой глаз, а я его ужо вытрезвлю, — говорил Флегонт Флегонтович Пластунову. — Надо скорее отсюда выбираться, пока до греха... Ну, Спирька, подвел!

— Ничего, Флегонт Флегонтыч, — успокаивал Гаврила Иванович, — разве один наш Спирька такой-то, все они на одну колодку теперь. А что насчет местечка, так Спирька тоже себе на уме: на ногах не держится, а из него правды-то топором не вырубишь...

Это было плохое утешение, но, за неимением лучшего, приходилось довольствоваться им. Расчет Флегонта Флегонтовича выехать сегодня же из Причины тоже не оправдался за разными хлопотами и недосугами, а главное, потому, что партии все прибывали и все упорно следили друг за другом. Нужно было переждать и выведать стороной, кто и куда едет, сколько партий, какие вожаки и т. д.

— Заварилась каша, — с тяжелым вздохом проговорил Флегонт Флегонтыч, — еще двое суток ждать, а уж теперь семнадцать партий набралось... К первому-то числу что же это будет... И зачем прет народ, просто ошалели... Ну, да и мы тоже не лыком шиты, может, и перехитрим других прочих-то.

Вместо того чтобы только «опнуться» в Причине, как предполагал Флегонт Флегонтович, нам пришлось «промаячить» в этой трущобе целых двое суток, вплоть до самой ночи на первое мая, когда должна была решиться участь всех. От нечего делать я ходил на охоту и присматривался к окружавшей меня пестрой картине. Деревня теперь превратилась в какой-то табор или в стоянку какого-то

необыкновенного полка. За неимением места в самой деревне, выросли отдельные таборы в окрестностях, что делалось очень просто: поставят несколько телег рядом, подымут оглобли, накроют их попонами — вот и жилье. На земле горит огонек, бродят спутанные лошади, на телегах и под телегами самые живописные группы — вообще жизнь кипела.

Все эти городские, невьянские, тагильские, каменские и многие другие «ищущие златого бисера» перемешались в одну пеструю кучу. Набралось около двухсот человек, и даже явилась полиция для охранения порядка и для предупреждения могущих возникнуть недоразумений. Но пока все было тихо и мирно, даже больше чем мирно — все успели перезнакомиться и, под видом доброжелательной простоты, старались выведать друг у друга кое-что о планах и намерениях на первое мая.

Флегонт Флегонтович при помощи разных нужных человечков успел разузнать всю подноготную, по крайней мере старался уверить в этом, и держал себя с самым беззаботным видом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна и которому нечего терять.

— Еще веселее будет в компании-то, Нил Ефремыч, — добродушно говорил он своему благоприятелю Кривополову, который постоянно ходил по гостям из одной избы в другую. — Это кто не с добром приехал, а нам что — милости просим...

— На людях-то и смерть красна, Флегонт Флегонтыч... — отвечал Кривополов, жмуря свои и без того узкие глаза.

Этот Кривополов был очень интересный тип, как переход от русского к монголу; приятели называли Кривополова «киргизской богородицей» за его скуластую сплюснутую рожу с узким, скошенным назад лбом и широким носом. Волосы он стриг под гребенку и носил маленькую кругленькую шапочку, точно всегда был в ермолке. У Кривополова где-то были довольно богатые прииски, поэтому он совершенно безнаказанно мог кутить и безобразничать по целым месяцам. Друг и приятель Кривополова, седой, толстый старик Дружков, являлся точно его половиной — они везде попадали как-то вместе и вместе «травили напропалую». К этим неразлучным друзьям присоединился высокий рыжий хо-

хол Середа, бог знает, какими ветрами занесенный на Урал; он молча ходил за Кривополовым и Дружковым, пил, если приглашали, и под нос себе мурлыкал какую-то хохлацкую песенку. Говорили, что Середа только еще разнюхивает дело в качестве агента от какой-то очень сильной иностранной компании. Когда к нему приставали с допросами, он только отмахивался и говорил приятным грудным тенором:

— Та я ж ничего не знаю, что говорят... А никакой компании нет. Якая там бисова компания? Пранцеватое ваше золото... нэхай ему лишечко буде.

Впрочем, пил Середа мастерски и не прочь был в картишки «повинтить», почему и сошелся на короткую ногу с Кривополовым и Дружковым, которые могли играть без просыпу хоть неделю.

Из числа других золотопромышленников выдавались Агашков Глеб Клементьевич и курляндский немец Кун. Они и держались наособицу от других, как настоящие аристократы. Агашков славился как скупщик краденого золота; у него были свои прииски, но только

такие, которые служили для отвода глаз, то есть воровское золото записывалось в приисковые книги как свое, и только. Такие дутые прииски на Урале почему-то называются бездушными.

Фигура у Агашкова была самая подкупающая: благообразный «низменный» старичок с самой апостольской физиономией — окладистая бородка с проседью, кроткие серые глаза, тихий симпатичный голос и вообще что-то такое благочестивое и хорошее во всей фигуре, кроме длинных рук, которыми Агашков гнул подковы и вколотил в гроб уже двух жен. Особенных художеств за Агашковым не водилось, а жил он как праведник, неукоснительно блюл не только посты, но даже среды и пятницы, был богомолен свыше всякой меры, иногда по дванадесятым праздникам становился на левый клирос и подпевал самым приятным стариковским тенорком, и больше всего любил побеседовать о божественном, особенно что-нибудь позабористее. Кун был лицо новое на Урале, но уже крепко основался и пустил корни. Представительный, всегда прилично одетый, он держался джентльме-

ном; подстриженные усы и эспаньолка делали его моложе своих лет. Как настоящий немец, он никогда не расставался со своей сигарой, с которой точно родился. Кун и Агашков, кажется, сошлись между собой и все держались вместе.

— Спарились, идолы, — коротко объяснил Флегонт Флегонтович. — Только кто кого у них надует: тонок немец, а и Глеб Клементичу тоже пальца в рот не клади.

Из других золотопромышленников, заблагорассудивших лично заявиться на место действия, никто особенно не выдавался, кроме «бывших»: и бывший мировой посредник, и бывший дореформенный заседатель, и бывший становой, и бывший судебный пристав, и бывший педагог, и бывший музыкант, и еще бывшие бог знает где и бог знает чем, но непременно бывшие, что и было видно сразу по остаткам барских замашек и костюмам, в манере держать себя, в прононсе с оттяжкой и шепелявеньем. Эти бывшие — в большинстве неудачники, которым не повезло и которые явились сюда еще раз испытать одну лишнюю неудачу. Они так уж и держались

вместе, поглядывая на остальных свысока: дескать, если бы вы, господа, видели нас в прежние-то времена, когда... гм!.. чер-рт поберр-и!

Отдельной артелькой сбилось несколько раскольников из Невьянска и из Ревды, — угрюмый и неприветливый народ, глядевший на всех остальных никониан исподлобья. По костюму — купечество средней руки, может быть, какие-нибудь прасолы и скотогоны или гуртовщики. Крепкий народ и держит себя оригинально, хотя сильно смущается табачным дымом. Особенно хорош был один седой сердитый старик, точно весь высеребренный.

— Уж этаким старикам на печке бы сидеть да грехи свои замаливать, — ворчал Собакин несколько раз. — А тоже золота захотел.

— Нэхай покопае — лишние гроши и прокопае, — равнодушно цедил Середа, не обращаясь, собственно, ни к кому.

— Только мешаться под ногами будет, старый черт... Еще где-нибудь задавят в суматохе-то, а то сам завалится куда-нибудь в ямку и подохнет, — не унимался Флегонт Флегонто-

вич.

Из «бывших» на некоторое время привлекали общее внимание двое отставных военных — ташкентский майор и какой-то сомнительный кавказец. Очень подержанные, очень нахальные и очень жалкие в своем гражданском виде, они держали себя с видом людей, которым уж и терять ничего не осталось. Вот у этих сомнительных воинов и возникло какое-то недоразумение специального характера, что-то вроде вопроса о чести мундира; может быть, это были старые счеты, но недоразумение перешло в крупный разговор, потом в ссору и, наконец, заключилось вызовом на дуэль. Дуэль в деревне Причине — это одно уж чего-нибудь стоило... Но вся буря кончилась ничем, потому что не оказалось соответствующего оружия: собранные со всего стана револьверы оказались разных мастеров и разных калибров.

Остальная «публика» состояла из разных доверенных и просто приказчиков, посланных сделать заявки непременно на Причинке. Это был все народ подневольный, не имевший самостоятельного значения, хотя и пред-

ставлял собой громкие имена уральских богачей.

— Удивляюсь, что это от Могильниковой никого нет! — несколько раз повторял Флегонт Флегонтович, наводя справки о прибывших партиях. — А они должны быть здесь... То есть, натурально, сама она не поедет, а доверенного пошлет. Уж тут недаром, не такая баба, чтобы маху дала. Пробойная баба, одним словом... Только что у нас будет — одному богу известно. Слышали: Агашков заводских лошадей выставил до самого Екатеринбурга, чтобы опередить всех с заявкой. И Кун тоже, и Кривополов...

— А вы как?

— Мы?.. Мы малыми дорогами их обгоним всех... Хе-хе! Тут ведь дороги каждые десять минут... да. Я Пластунова пошлю верхом о двуконь, по-киргизски... Эх, жаль, у меня Воронка не стало! Вот была лошадь, скажу я вам, — золото, клад... На ней я сам по сту верст верхом делал на проход. Если бы жива была, сам на ней поехал бы с заявкой... А мужичье-то, причинные-то мужики, что выделывают — слышали?

— Пьянствуют?

— С кругу спились, совсем одурели. Да и как не одуреть: в сутки по три целковых теперь получают, да еще сколько обманут... Ведь наш брат другой раз даже до смешного бывает глуп и доверчив!.. Ей-богу! В глаза мужики всех обманывают, а им за это еще деньги платят. Одно место в четверо рук продают... Ха-ха!

— Да ведь и Спирька, может быть, тоже надувает вас?

— Ну, уж извините, Спирька других надул, а не меня... Он у меня в разведке, как стеклышко, будет. Вот сами увидите... всю дурь из него вытрясем.

Причинные мужики действительно совсем потерялись в вихре событий: запрос на рабочие руки оказался громадный, а, кроме того, всякий золотопромышленник, конечно, потихоньку от других, старался непременно заручиться верным человеком, который знает верное местечко. В результате получалась прекурьезная игра втемную, причем каждый был уверен, что именно он проведет всех остальных. Флегонт Флегонтович окончатель-

но успокоился, познакомившись с наличным составом своих конкурентов, и только подшучивал над вылезавшими наружу плутнями других.

— Видели, как Кун вчера якобы на охоту с ружьем ходил? — рассказывал Собакин. — Думает, что так ему и поверили... а еще немец! Агашков прошлой ночью сам ездил потихоньку посмотреть место... Да и другие тоже. И все, главное, думают, что никто и ничего не знает, точно все оглохли и ослепли.

Сбившиеся с панталыку причинные мужики бродили по селу, как чумные телята, и все промышляли, где бы еще выпить. Слова: «произведу», «предоставлю», «руководствуй» — так и висели в воздухе, повторялись на все лады. Напротив нас стояла гнилая избушка, в которой жил рыжий мужик Парфен, обладавший громадным носом; этот Парфен успевал аккуратно два раза в день напиться и каждый раз производил в своей избенке настоящий геологический переворот — как-то разом все начинало лететь из избушки прямо на улицу: горшки, ребятишки, ухваты и, жена Парфена вылетала после всего в самом отча-

янном виде, с растрепанными волосами, босая, в растерзанном сарафанишке.

— Ловко... — поощрял Спирька соседа, поглядывая из окошка. — Дай ей хорошего раза, Матрене-то... руководствуй...

И Парфен действительно руководствовал на всю улицу, потешая скучавших золотопромышленников. Он приходил даже в какой-то экстаз и все старался придумать что-нибудь почуднее, чтобы удивить всех. Другой мужик, Силантий, живший через два двора, смирный и забитый в нормальном состоянии, как выпивал две-три рюмки, тоже начинал руководствовать и лез непременно драться к первому встречному. Его обыкновенно связывали вожжами и укладывали успокоиться куда-нибудь на холодке. На другом краю деревни бушевал какой-то седой старик Емельяныч, который колотил трех своих сыновей поленьями. Приехавшие рабочие из других деревень, в большинстве самый отпетый народ, набравшийся по приискам вольного духу, дополняли картину своим пьянством, драками и постоянно приставали к причинным бабам и девкам. Женский курс вдруг поднялся, и бабы к обще-

му соблазну принялись щеголять по улице в самых ярких сарафанах и в кумачных платках, за что им прописывалась сугубая трепка.

Словом, происходила невообразимая кутерьма, и благочестивые причинные старушки только молили бога, чтобы скорее наступило это растреклятое первое мая.

— Я теперь совсем обумился, Флегон Флегоныч, — уверял Спирька, все еще находившийся под домашним арестом. — Пусти хоть дохнуть разик с нашими причинными... Ей-богу, ни в одном глазу.

— Врешь, все врешь... — упрямо отказывал Собакин. — Знаю я тебя, гусь лапчатый. Тебя только на улицу выпусти, так ты сейчас без задних ног, да еще, пожалуй, с вина сгоришь... Немного уж ждать осталось, а там хоть лопни от водки.

Спирька чесал свою гриву, вздыхал и потом соглашался с неумолимым патроном, что оно точно, пожалуй, опять сорвет с ума-то. К довершению общей суматохи случилось два происшествия: «сгорел» с вина какой-то старик, и потом нашли избитую до полусмерти девку Анисью, которая пострадала за свое ко-

варство — взяла с трех претендентов на ее внимание приличные подарки. Обманутые сговорились и поучили.

— Нет, уж что же это такое? — спросил Агашков, благочестиво поднимая плечи. — Настоящие Содом и Гоморра... уголовство.

Глава 6

Наконец наступил и канун первого мая. С раннего утра в Причине все поднялось на ноги, даже не было видно пьяных. Партии рабочих уже были в полном сборе и толпились кучками около изб, где жили хозяева, или около обозов. Приготовляли лошадей, мазали телеги, бегали и суетились, как перед настоящим походом. Только хозяева старались казаться спокойными, но в то же время зорко сторожили друг друга — кто первый не утерпит и тронется в путь. Свои лазутчики и соглядатаи зорко следили за каждым движением.

— Мы из деревни выедем совсем не в ту сторону, куда нужно, — шепотом сообщил мне Флегонт Флегонтович, тревожно потирая руки. — А вы слышали, что Спирька сегодня ночью чуть не убежал у нас? Да, да... Ну, я с

ним распорядился по-своему и пообещал посадить на цепь, как собаку, если он вздумает еще морочить меня. А все-таки сердце у меня не на месте... Всю ночь сегодня грезился проклятый заяц, который нам тогда перебежал дорогу, — так и прыгает, бестия, под самым носом.

— А далеко нам ехать?

— Да верст пятнадцать будет... По крайней мере Спирька так говорит и Гаврила Иваныч тоже.

В общей суматохе не принимали участия только Кривополов, Дружков, Середа и еще какой-то инженер в отставке, которые винтили уже третьи сутки. Агашков молился с утра богу, Кун, заложив руки в карманы своей кожаной куртки, особенно сосредоточенно курил сигару с раннего утра. В избе Спирьки Флегонт Флегонтович возился с каким-то футляром, который никак не входил у него в боковой карман.

— Что это у вас такое? — спросил я. — Револьверы?

Собакин осторожно оглянулся кругом и расстегнул застежки футляра: в нем лежала

разобранная флейта.

— Это для чего у вас? — спросил я.

— А нужно... вот увидите. Я немножко, знаете, играю. Скучно в лесу иногда бывает, особенно осенью, когда ненастье зарядит недели на три. Две партии уже отправились, — перескочил он к злобе дня, — это доверенные от Охлестышевых. Ну, да эти не опасны, пусть поездят по лесу. Я, признаться сказать, больше всего опасаюсь Агашкова и Куна... Черт их знает, что у них на уме.

— Да что же они могут сделать?

— Э, да мало ли что... Будут караулить, куда поедем, и, пожалуй, помешают.

Напились чаю, потом пообедали, но никому кусок в рот не шел. Метелкин выглядывал с почтительной грустью. Спирька сидел как приговоренный; сам Флегонт Флегонтович постоянно подбегал к окошку на малейший стук и осторожно выглядывал из-за косяка. Один Гаврила Иванович не испытывал, кажется, никакого волнения и сосредоточенно ел за четверых, облизывая свою крашеную деревянную ложку.

День был ясный, настоящий весенний, с

легким холодком в воздухе; по небу с утра бродили белые волнистые облачка, обещая долгое вёдро. Но кругом не было еще зелени, и только на пригорках кое-где пробивалась свежая травка зелеными щетками. Река Причинка уже очистилась ото льда и начала разливаться в своих низких болотистых берегах, затопляя луга и низины. Пролетело несколько Косяков диких уток; где-то печально кричали журавли.

Часов в семь вечера наша первая партия выступила из Причины, потому что к заветному месту нужно было подойти обходным путем, чтобы запутать все следы и обмануть охотников открыть наш секрет. Теперь нас было две партии — одна под предводительством Флегонта Флегонтовича, а другая во главе с Пластуновым. У нас вожаком служил Спирька, а у Пластунова Гаврила Иванович. Сговорились встретиться на каком-то урочище Сухой Пал, прежде чем захватить окончательно местечко. Чтобы решительно сбить с толку всех, мы ехали в одну сторону, а Пластунов в другую. Собственно, наша партия должна была выступить час спустя.

— Ох, не разъехаться бы... — стонал Собакин, провожая партию Пластунова вперед. — Ты, Гаврила Иванович, смотри, — не ударь в грязь лицом.

— Уж не сумлевайтесь... все оборудуем, Флегонт Флегонтыч, — отвечал старик, залезая в коробок Пластунова. — В лучшем виде.

Другие партии тоже зашевелились, и две из них отправились вслед за нашей партией, хотя это были «бывшие», значит, особенной опасности не предвиделось.

— Что вы так хлопочете, чтобы не разъехаться, — говорил я, — все равно: Пластунов займет другой участок — и только.

— Э, батенька, в том весь и секрет, чтобы занять два участка рядом, потому что у меня в участке жила, ну, а как она уйдет к другому? Вот это-то и дорого... Все из-за этого хлопочут. По закону, каждая партия имеет право занять только один участок — пять верст в длину и сто саженей в ширину, то есть по течению какой-нибудь речки.

Было восемь часов, и мы выступили тоже в поход. Спирька поместился у нас на козлах, и Собакин категорически объявил ему:

— Ну, ты, идол, смотри в оба, а ежели надуешь, так я из тебя и крупы надеру и муки намелю в лесу-то...

— Предоставлю, Флегон Флегоныч, — угрюмо отвечал Спирька, нахлобучивая какую-то совершенно невозможную шапку на свою взлохмаченную голову. — Уж мы с Гаврилой Иванычем вот как сруководствуем... важное местечко.

Флегонт Флегонтович все оглядывался, точно ожидал погони; но погони не было, и только в стороне дороги раза два повторялся какой-то подозрительный шум, точно кто шел за нами, прячась за деревьями и в кустах.

— Ишь, подлецы, как провожают... — ругался Собакин. — Наверно, Агашков подослал или этот немец с сигарой...

Небо было совершенно ясное, солнце только что закатилось, из лесу тянуло свежей ночной сыростью. С большой дороги мы свернули по указанию Спирьки куда-то направо и поехали в цело, то есть без всякой дороги, по какому-то покосу. Меня удивило то, что мы ехали от реки Причинки, тогда как должны

были держаться около нее. Впрочем, она текла крайне извилисто, и мы, вероятно, просто выгадывали пространство. Все молчали и как-то старались не смотреть друг на друга, точно премированные заговорщики.

В одном месте, когда мы ехали около соснового подседа, над нашими головами пролетело несколько тянувших вальдшнепов с тем особенным кряхтеньем, которое настоящего охотника заставляет замирать на месте. Но теперь было не до охотничьих восторгов, и мы пропустили тягу совершенно равнодушно. Но чем дальше мы подвигались, тем больше начинало попадаться нам подозрительных признаков — перепутанные колеи, следы лошадиных ног, какой-то отдаленный глухой шум или неожиданный треск где-нибудь в стороне.

— Это все партии гуляют по лесу, — объяснил Флегонт Флегонтович; он несколько раз выскакивал из экипажа и припадал ухом к земле, чтобы лучше расслышать лошадиный топот. — Далеко до Сухого Пала осталось, Спирька?

— Да еще верст семь надо класть, Флегон

Флегоныч... а может, и побольше. Кто его знает: здесь ведь места-то баба мерила клюкой, да махнула рукой...

В одном месте мы спугнули несколько пар журавлей, которые с печальным криком полетели дальше. Место было болотистое с низкими кустами ольхи, черемухи и болотной ивы; наш экипаж прыгал по кочкам и постоянно грозил опасностью перевернуться вверх дном. Откуда-то повеяло холодной сыростью, — это была вода, может быть, одно из бесчисленных озер. В другом месте, в лесу, слабо замигала красная точка и потянуло дымком; наш обоз остановился, и вперед посланы были лазутчики. Оказалось, что стояла станом какая-то партия, ожидавшая наступления двенадцати часов: рабочие были не здешние, а хозяин «из господ», как объяснили вернувшиеся лазутчики.

— Должно быть, заблудились, сердечные... — посмеялся Флегонт Флегонтович, однако велел объехать партию подальше стороной, «чтобы не навести на сумление».

Взошел молодой месяц, и все кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете.

Собственно говоря, сравнительно с душистой и туманной летнею ночью, эта холодная и, так сказать, сухая весенняя ночь была просто жалка, но что было хорошо в ней и что придавало ей какую-то особенную поэзию — это неумолкавшая жизнь пернатого царства. Каких-каких звуков только не было!.. Кроме журавлиного и лебединого крика и кряхтенья вальдшнепов, слышалось неумолкаемое пение со всех сторон. Какие птицы пели — не умею сказать, за исключением иволги, которая резко выделялась среди других певцов. Где-то точно разговаривают и кричат две голосистые бабы, потом глухо забормотал на листвени тетерев, потом, точно из-под земли, донеслось неистовое фырканье и кудахтанье игравших на току косачей. Ночь была тихая, и можно было расслышать игру на нескольких токах. Но всего удивительнее был какой-то страшный крик, точно во всю глотку ревел пьяный мужик; я даже вздрогнул в первую минуту.

— Что, испугались? — смеялся Флегонт Флегонтович. — Угадайте-ка, что за зверь это отличается? Не угадать... Это куропатка.

— Не может быть!..

— Уверяю вас; я сам сначала не верил, пока не убедился своими глазами. Ревет, точно оглашенная...

В сторонке тихо и нерешительно слышалось осторожное заячье бобоканье; зайцы кричат иногда пресмешно в лесу — сядет на задние лапки, насторожит уши, вытянет мордочку и начинает как-то по-детски наговаривать: «бо-бо-бо-бо»...

— Гли-ко, гли[184], Флегон Флегонтыч, — зашептал Спирька, показывая головой в сторону небольшой сосновой гривки, у которой стояли две темные фигуры. — Вишь, как зорят[185] за нам...

— Ну, пусть их зорят.

— А в лесу лошадь привязана — вон одна голова торчит...

— Ах, подлецы! Чьи бы это?

— Темно, не признать сыздали. Быдто из сосунят кто по обличью-то... может, и наши причинные.

Кроме этих отрывочных эпизодов, наше путешествие совершалось в мертвом молчании; слышался только лошадиный топот и

стук колес, когда они попадали на древесный корень. Вахромей сидел на козлах в обычном молчании и только изредка, в виде особенной милости, благоволил всыпать вертлявой пристяжной несколько хлестких ударов.

— Эва тебе и Сухой Пал... — проговорил, наконец, Спирька, когда впереди серым неясным пятном выступила между редкими соснами узкая лесная прогалина. — И Гаврила Иваныч тамоди[186] с людям дожидает нас... в самую точку попали.

Сухой Пал выделялся какой-то суровой красотой и резко отличался от других мест, по которым ехали до сих пор. Кругом росли вековые сосны в обхват толщиной; почва делала мягкий уклон к небольшому круглому озерку и кончалась крутым обрывом, на котором росла корона из громадных лип.

— Старцы здесь жили в допрежние времена, — объяснил Спирька, — вон и липняк насадили для пчелы... Только их начальство выжило; потому как они, старцы-то, к старой вере были прилежны... строго было. Весь скиток разорили...

Партия Пластунова дожидалась нас уже с

час. Посыпались рассказы с обеих сторон о встречных партиях. Весь лес на десятки верст по течению Причинки был переполнен людьми, ждавшими наступления полуночи.

— Страсть сколь народичку понаперло, — удивлялся Гаврила Иваныч, поправляя свою баранью шапку. — Немца видели... ну, еще с сигарой ходил. В двух верстах отсюдова будет...

— А Агашкова не видал?

— Нет, как будто не заприметил. Тут все какие-то новые партии, Флегонт Флегонтыч. И господь их знает, откуда они набрались. В Причине как будто их не видать было, все наперечет. Это все пришлые... Надо полагать, режевские али невьянские.

— Все равно... один черт, — ворчал Собакин. — Столбы разведочные приготовили?

— Два столбика сорудовали... и слова написали.

— Хорошо. Уж десять часов скоро, — говорил Собакин, со спичкой разглядывая циферблат своих часов. — Далеко отсюда?

— Версты три, надо полагать, будет; в час доедем.

— Часик подождем.

Ехать прямо на заветное местечко прежде времени мы не могли, потому что на нас могли набежать другие партии и начать спор по заявке. Но, с другой стороны, полная неизвестность являлась тяжелым кошмаром для всех. Время тянулось убийственно медленно, как при всяком ожидании, и Флегонт Флегонтович беспрестанно жег спички, чтобы посмотреть, сколько осталось.

Ровно в одиннадцать часов мы трогаемся в путь в мертвом молчании, но лес кругом гудит от конского топота и торопливо шмыгающих людей. Мимо нас проскакала партия верхом на лошадях; где-то далеко рубят дерево, и каждый удар топора звонко разносится в ночной тиши. Вероятно, это готовят разведочный столб. Вот где-то совсем близко посыпались тоже удары топора, кто-то рубит лихорадочной, неумелой рукой. Опять встреча, едут на двух телегах, разъезжаемся молча — ни слова. Торопливо бегут какие-то мужики с лопатами и топорами. Уж близко совсем, вот и небольшой пологий ложок, который спускается корытом к Причинке.

— Здесь... — шепчет Спирька.

Флегонт Флегонтович отряжает Пластунова с Гаврилой Ивановичем вверх по Причинке, к какому-то Семенову Бугру, где он должен ждать сигнала и сейчас же ставить разведочный столб.

— Как я заиграю, значит, место свободно, ты сейчас и катай столбы и шурфы, — наставительно шепчет он своему доверенному. — Через полчаса, чтобы все было готово... Слышишь?.. Я как заиграю, ты сейчас и действуй.

Партия Пластунова исчезает в густой сосновой заросли, а мы остаемся на ложке, в ожидании двенадцати часов. Заветное местечко на полверсты ниже, но занимать его теперь рано, можно только привлечь внимание проходящих мимо партий. А народ так валит и валит, все дальше, вверх по Причинке; каждая новая партия заставляет переживать скверное чувство: а как она да наше место и захватит? Но пока все благополучно — все проходят мимо.

— Начинай, благословясь, — командует Флегонт Флегонтович, откладывая несколько широких крестов. — Ну, восемь минут оста-

лось… пора.

Мы отправляемся вниз по Причинке, которая здесь шириной всего несколько аршин, а в некоторых местах ее просто даже можно перескочить с разбегу. Лошади остались на месте, а мы идем пешком.

— Скорее, скорее… — торопит Флегонт Флегонтович, задыхаясь на ходу. — Спирька, где место-то?

— Да вон береза-то развилашкой стоит, тут и место, — объясняет Спирька, едва поспевая за Собакиным на своих кривых ногах.

За нами несколько рабочих несут разведочный столб.

— Стой! — командует Флегонт Флегонтович, когда мы поравнялись с указанной березой. — Ровно двенадцать часов… ставь столб!

В подтверждение своих слов он показывает нам свои часы; Спирька с двумя рабочими копают яму, а Флегонт Флегонтович вынул из кармана футляр с флейтой, собрал инструмент, и по лесу далеко покатился вальс из «Корневильских колоколов»:

Ходил три раза кругом света
И научился храбрым быть…

В ответ на вальс послышался глухой выстрел из револьвера.

— Слава богу, место свободно, — объяснил Собакин. — У нас такой уговор был: если свободно — один выстрел, если нет — три. Ставьте скорее столб. Ну, теперь валяй шурфы.

Разведочный столб был уже поставлен, и рабочие ставили пониже другой. Метелкин со Спирькой из срубленной березы устраивали живой мостик через Причинку. Флегонт Флегонтович сам отмерял на земле квадрат шурфа и принялся обрубать топором дерн; он взмахивал топором со всего плеча и не мог вывести прямой линии.

В самый разгар работы, на противоположном берегу Причинки, в лесу послышался глухой треск, точно шла целая рота солдат, и затем выскочило несколько рабочих с лопатами и кирками. Намерения неожиданных пришельцев были очевидны, и Флегонт Флегонтович закричал не своим голосом:

— Стой! Место занято... Кто первый пошевелится, на месте убью!

На этот вызов из приближавшейся толпы рабочих отделился высокого роста мужчина в

кожаной куртке, в высоких сапогах и в модной шляпе с двумя козырьками. Он подошел к переходу через речку и, сняв шляпу, спокойно отрекомендовался:

— Стреляйте... К вашим услугам: Серапион Чесноков. Обращаю особенное внимание ваше, милостивый государь, на то, что вы в глухом лесу производите угрозу с оружием в руках, что предусмотрено уложением о наказаниях. Притом вы начали работу целым получасом раньше, чем это назначено, за что тоже будете отвечать, а теперь я займу эту площадь на основании общих правил.

Бедный Флегонт Флегонтович побелел от злости и только смотрел на оратора с открытым ртом, как помешанный.

— Да вы... вы от кого? — проговорил он наконец, опуская бессильно руки.

— Я? Я от Анфусы Полихроновны Могильниковой...

— А! Так вы вот как... О, я знаю вас!.. Я... я... — закричал Флегонт Флегонтович каким-то крикливым голосом и бросился грудью защищать переход через Причинку. — Я знаю тебя, подлеца!.. Алеут!.. Ребята, не пу-

щай!.. Спирька, Метелкин! Братцы, это разбойник... это грабеж!.. Будьте все свидетелями...

— Эй, вы, послушайте, — спокойно продолжал «алеут», отдавая какие-то приказания своим рабочим. — Кроме вооруженного нападения, вы еще делаете подлог: часы у вас переведены... Притом вы меня оскорбили с первого слова. И в том и в другом случае вы ответите в законном порядке.

— Врешь, алеут... Это у тебя часы переведены! — орал Флегонт Флегонтович, напирая грудью на незнакомца, но при последних словах внезапно покатился по земле, точно под ним земля пошатнулась...

— Ребята, руби столб!.. — крикнул алеут, перескакивая на нашу сторону.

За этим возгласом произошла уже настоящая свалка: наши рабочие отчаянно защищали свой столб, а сподвижники алеута старались их сбить с позиции, что скоро и было исполнено благодаря их численному превосходству, да и народ все был рослый, заводский, молодец к молодцу.

— Катай их... валяй! — ревел Собакин, бро-

саясь на алеута врукопашную. — Спирька, Метелкин, бери его!.. Действуй!..

Но взять алеута было не так-то просто: он одним ударом опрокинул Метелкина, потом схватил Спирьку за горло и бросил прямо на землю, как дохлую кошку. Но Флегонт Флегонтович был довольно искусен в рукопашной и как-то кубарем бросился прямо в ноги алеуту, свалил его и с ним вместе покатился по земле одним живым комом; Метелкин и Спирька, очувствовавшись от первого афронта, схватились разом за барахтавшегося на земле алеута, который старался непременно встать на колени.

— Что же вы-то смотрите... а?! — кричал мне Флегонт Флегонтович, взмостившись на алеуте верхом. — Ах, подлец... ах, разбойник! Спирька, не давай ему на четыре кости вставать... не дав...

Чесноков, утвердившись «на четырех костях», быстро поднялся на ноги и разом стряхнул с себя всех троих, так что Флегонт Флегонтович первым обратился в бегство, а за ним побежал Метелкин. Я оставался по-прежнему безучастным зрителем этой немного горячей

сцены, в которой не желал принимать активного участия. Чесноков торжественно осмотрел поле сражения и как-то добродушно проговорил:

— Хороши...

Затем он засмеялся, достал из кармана серебряный портсигар, и как ни в чем не бывало закурил дешевенькую папиросу.

— Пожалуйста, будьте свидетелем всего здесь случившегося, — вежливо проговорил он, обращаясь ко мне.

— Нет, уж избавьте, пожалуйста, от этой чести...

— Вы не имеете права отказываться, как порядочный человек. Впрочем, эти дела до суда у нас не доходят. Устроим полюбовную. А, да, кажется, еще новый конкурент! Да ведь это наипочтеннейший Глеб Клементьевич Агашков... Вот это мило!..

Действительно, пока происходила борьба Чеснокова с Флегонтом Флегонтовичем, Агашков под шумок успел не только поставить свой разведочный столб, но уже дорабатывал второй, обязательный для заявки шурф, причем уже промывали в приисковом

ковше пробу.

— Ну, это дудки, — хладнокровно проговорил Чесноков, направляясь прямо к благочестивому старцу. — Эй, вы, черт вас возьми совсем! Это вы что же делаете?

— Как что делаю? — удивился в свою очередь Агашков, немного отступая от приближавшегося алеута. — Вы, милостивый государь, пожалуйста, подальше, а то у вас руки-то...

— Что руки?..

— Скоры вы на руку-то, сударь, даже очень скоры... Вон как Флегонта Флегонтовича изувечили.

— Убирайтесь отсюда... сейчас же!.. Слышите? — грозно приказал Чесноков, принимая угрожающую позу.

— И уйду... даже сейчас уйду-с, вот только заявочный столбик приспособлю.

— А я ваш столб срублю!

— И рубите... потому как здесь лес, а в городу это все разберут.

— Вы хотите, кажется, меня перехитрить? Ну, извините, Глеб Клементьевич, я вас отсюда не выпущу... Ребята, окружайте его и не

выпускайте. Вот так.

Около Агашкова образовался живой круг, и он очутился как в мышеловке. Произошла преуморительная сцена, которая закончилась тем, что Глеб Клементьевич, потеряв всякую надежду пробиться сквозь окружающую его цепь, смиренно уселся на камешек, а Чесноков в это время собственноручно доканчивал разведку и сам доводил золото в Причинке. Когда все было кончено, этот страшный поверенный купчихи Могильниковой сел на верховую лошадь, попрощался со всеми и исчез в лесу.

— Разбойник... подлец!.. — ругались в две руки Собакин и Агашков, проклиная отчаянную алеутскую башку; к довершению несчастья, Флегонт Флегонтович повернул неловко ногу во время давешней борьбы и теперь охал и стонал при каждом движении.

Глава 7

— Надо первым делом в Причинку воротиться, чтобы составить акт и всякое прочее, — решили в голос Собакин и Агашков, когда немного пришли в себя. — Мы допекем алеута... к исправнику... к губернатору

пойдем. Разбой на большой дороге... в лесу... да мы всех екатеринбургских адвокатов натравим на алеута.

Потерпевшие ругались, как умели, и старались изобрести тысячи самых ядовитых способов извести алеута. Как все очень рассерженные люди, они не только сами верили своим жестоким намерениям, но требовали непременно, чтобы и все другие разделяли их чувства. Мы с Гаврилой Ивановичем сделались невольными жертвами этого озлобления и принуждены были выражать свое полное согласие.

— Я к губернатору, Гаврила Иваныч... — приставал Собакин к нашему «вожу», который почесывал затылок и несколько раз повторял одну и ту же бессмысленную фразу: «Ах, чтоб тебя расстрелило!..»

— Нет, ты скажи, ведь мы его узлом завяжем? — приставал Собакин, размахивая своими короткими руками. — У меня есть один знакомый в канцелярии губернатора из поповичей и такая дока, такая дока... Ведь мы пропишем, Гаврила Иваныч, алеуту горячего до слез... а?! Вот и Глеб Клементьевич тоже...

— Обыкновенно, оборудуем, — благочестиво соглашался Агашков, разглаживая свою седую бороду. — У меня тоже есть один знакомый в духовной консистории.

— В светлеющий синод надо бумагу подать, — советовал Гаврила Иванович, дергая плечами. — Ах, чтобы тебя ущемило... Ну и разбойник!..

— А я еще раньше это предугадывал... — припоминал Флегонт Флегонтович. — Помните? Я несколько раз говорил: «Что это от Могильниковой никого нет?» А вот она и объявилась... И нашла же кого послать!

— Да кто он такой, этот Чесноков? — спрашивал я, воспользовавшись маленьким перерывом, когда Флегонт Флегонтович переводил дух.

— Алеут-то? А черт его знает, кто он такой... Всего года два как объявился в наших местах. Я с ним в Верхотурье в первый раз встретился, даже раз в карты играл. Он тогда адвокатом был и все судился с кем-то. Ну, парень ничего, и на разговор как по писаному режет. Сначала-то всем даже очень понравился, и в хорошие дома везде принимали. Неко-

торые верхотурские дамы даже очень уважали этого самого алеута, потому, сами посудите, — детина десяти вершков росту, любо смотреть. Ну, обыкновенно, место глухое, дамочкам это даже очень любопытно казалось этакого зверя прикармливать, а потом он себя и оказал, так-таки сразу и оказал — весь как на ладонке. Именины были, и Чесноков тут же. Ну, как попало ему хорошенько за галстук, он и произвел — четверых отколотил... Силища, как у медведя. Двоих схватил за бороды да головами и давай друг о дружку стучать, чуть живых отняли. Чистый дьявол... и на руку скор, страсть! Как-то в театре в Перми идет в антракте в буфет, а навстречу купец и не сворачивает — алеут в ухо, а купец, как яблоко, и покатился. Уж теперь все этого алеута знают и чуть что — сейчас подальше. А как он попал к Могильниковой — ума не приложу... Такая степенная дама и вдруг этакого молодца подсылает. Ведь это что же такое: нож ему в руки да на большую дорогу.

— Зачем же его называют алеутом?

— Все так зовут, потому что в Америке, сказывают, жил где-то там, у алеутов... Навер-

ное, все врет только будто языком про Америку, а сам, наверно, из каторги ушел.

— Из каторги не из каторги, а около того, — глубокомысленно заметил Агашков. — Очень замашистый человек и даже, можно сказать, весьма неприятный... А уж откуда его добыла Могильникова — ума не приложу. Я, кажется, лучше с медведем в берлоге переночую, чем с этим алеутом...

Увлеченный неудержимым потоком своего гнева, Собакин совсем позабыл, что Агашков чуть-чуть не отнял у него заветное местечко. Об этом щекотливом обстоятельстве он вспомнил только при нашем вступлении в Причину.

— Ну, и вы, Глеб Клементьевич, тоже хороши, ежели разобрать... — корил он благочестивого старца. — Я местечко-то караулил два месяца, сколько одной водки выпоил Спирьке, а вы...

— Я?.. Да ведь я хотел вам помочь, Флегонт Флегонтович... Слышу, битва идет, ну, я и бросился ослобонять вас.

— А шурфы-то зачем били... а?.. Нет, уж не отпирайтесь лучше... Ну, да теперь все равно:

дело пропащее. По крайней мере не доставайся местечко Могильниковой...

— Вот-вот, это самое и есть... — вторил Агашков. — Послушайте, это что же такое... а?.. Вот те и раз!

Заслонив рукой свои старые глаза, Агашков смотрел вдоль по причинской улице, где у квартиры Кривополова стояли оседланные лошади и толпились какие-то мужики. Издали можно было узнать только нескладную фигуру долгоносого пьяницы Парфена, который отчаянно взмахивал руками и расслабленно приседал. Когда мы поравнялись с квартирой Кривополова, за ворота занимаемой им избы, пошатываясь, вышел захмелевший хохол Середа; он посмотрел на нас каким-то блаженным взглядом и, покрутив головой, на немой вопрос Агашкова, пролепетал: «Ой, лишечко...»

— К нам, к нам, милостивые господа!.. — выкрикивал коснеющим языком Парфен. — Там Марфа Ивановна... их душа... вот помереть... люблю.

Мы остановились. Рожа Кривополова показалась в окне, и он Христом-богом умолял

всех зайти в избушку.

— Да что вы, окаянные, тут делаете! — журил Агашков, не решаясь спуститься с экипажа. — Добрые люди на разведках бьются, а они вон где проклажаются... Ах вы, греховодники этакие, ей-богу, греховодники!..

— У нас тут... ха-ха!.. Голубчики, Глеб Клементич, и ты, Флегонт Флегонтыч... ради Христа заходите. Я ведь все знаю про вас, как вы там с алеутом воевали... ха-ха!..

В этот момент за ворота выкатился, как шар, толстый седой Дружков и без всяких разговоров принялся стаскивать Агашкова с экипажа за ноги. Мы всей гурьбой отправились в избу, где слышался чей-то женский смех и неистовый хохот Кривополова. В переднем углу, около стола, заставленного бутылками и разной походной посудой, сидела молодая красивая женщина в темном платочке с глазками. Ей было на вид лет двадцать. Высокая, полная, белая, с продолговатым лицом, она дышала тем завидным здоровьем, какое еще сохраняется только в старинных купеческих семьях. Всего замечательнее в этом красивом женском лице были серые, опушенные длин-

ными ресницами глаза с поволокой и сочные свежие губы, складывавшиеся сами собой в такую хорошую улыбку, как умеют смеяться только настоящие красавицы.

— Вот кого нам бог послал... — хрипел Кривополов, указывая толстыми пальцами прямо на свою гостью. — Ну-ка, Глеб Клементич, угадай, кто такая будет... а?.. И не думай лучше, все равно не угадаешь... Вот так красота — сейчас в рамку да под стекло.

— Уж вы, Нил Ефремыч, и скажете... — немножко кокетливо проговорила красавица и сейчас же вся застыдилась. — А я вас, Глеб Клементич, даже очень хорошо помню, вот и Флегонта Флегонтовича тоже.

— Матушка ты наша... ягодка... — говорил седой Дружков, припадая своей одутловатой сыромятной рожей к ручке Марфы Ивановны.

Агашков и Флегонт Флегонтович переглянулись, не зная, как себя держать с Марфой Ивановной. Лицо Агашкова так и просветлело — старичок любил красивых женщин, — но, с другой стороны, может, какая-нибудь переряженная арфистка...

— Ну, ну! Чего вы медведями-то стоите!.. — кричал Кривополов. — Небось, Ивана-то Семеныча Семиквасова помните? Еще гурты в степи гонял... Ну, он-то, Иван-то Семеныч, значит, помер, водочкой зашибал покойник, крепко зашибал напоследях, а это, значит, его дочь, Марфа Ивановна...

— Да как вы к нам в лес-то, в этакую трущобу попали, Марфа Ивановна? — спросил Агашков, долго удерживая в своих руках мягкую, полную ручку Марфы Ивановны. — Да где тут узнать... Я вас видел еще такой махонькой, по десятому годку. Еще пряников привозил... Может, помните?

— Как же, я вас сразу узнала, — певуче ответила Марфа Ивановна и с ласковой улыбкой смотрела прямо в глаза таявшему старичку.

— Вот и отлично, что помните... Ну, а теперь-то где же мне узнать вас, вон какая раскрасавица выросла... хе-хе! Только все-таки, как же это вы к нам-то, в лес-то попали... а?..

— Я с Серапиеном Михалычем... — ответила Марфа Ивановна, заметно смутившись. — Он насчет разведки от Могильнико-

вой, а я с ним везде езжу, потому одних Серапиена Михалыча никак невозможно отпускать, при их неукротимом карактере.

Марфа Ивановна так и говорила: «карактер», «Серапиен Михалыч», но у нее и этот недостаток превращался в достоинство, потому что как нельзя больше подходил к платочку с глазками и простенькому шерстяному платью купеческого покроя.

— Вы тоже по золоту? — ласково спрашивала меня Марфа Ивановна, когда первый взрыв восторгов прошел.

— Нет, я так... на охоту приехал.

Марфа Ивановна отнеслась недоверчиво к моей охоте и только едва заметно вздохнула. Мне казалось, что я где-то ее встречал, — лицо было такое знакомое, и голос, и глаза, но где? Да и сама Марфа Ивановна отнеслась ко мне, как к старому знакомому.

— А ведь Марфа Ивановна у нас гостит на отлете, — объяснял Кривополов, утирая свою калмыцкую образину фуляровым платком. — Угадай-ка, Глеб Клементич, куда она собралась!

— Как, уезжает? — удивился благочести-

вый старец, но, взглянув на гостью, он только улыбнулся и, потирая руки, своим ласковым голосом проговорил: — А мы не пустим Марфу Ивановну... ей-богу, не пустим. Такой веревочкой привяжем, что и сама не поедет... хе-хе!..

— Нет, я скоро уеду... далеко уеду, — с легким вздохом проговорила Марфа Ивановна, ласково улыбаясь. — Так далеко, что и думать-то страшно... Я ведь с Серапиеном Михалычем; куда они, туда и я...

— В Америку едет Марфа-то Ивановна наша, — объяснил Кривополов и как-то особенно глупо захохотал. — Чесноков в Калифорнию собирается золото искать...

Все недоверчиво переглянулись.

— Я и выговорить-то это слово не умею, куда Серапиен Михалыч собирается уезжать, — объясняла Марфа Ивановна в свою очередь. — А только непременно уедем... Вы чему это смеетесь, Глеб Клементич? Ведь Серапиен Михалыч такой человек: что захотят, то и сделают. Они уж такие... особенные совсем. Вы не смейтесь, Глеб Клементич.

— Я-с? Помилуйте, Марфа Ивановна... уж

на что особеннее Серапиона Михалыча. Вот хоть Флегонта Флегонтыча спросите, хе-хе! А что касательно Америки там, так что же — сторона хорошая, и даже в газетах я как-то про нее читал. Хорошая сторона, прямо сказать, только далеконько маленько будет, ну, да Серапиону-то Михалычу это сущий пустяк-с... Я только так про себя думаю, как же вы, Марфа Ивановна, насчет своих сродственников? Тоже ведь жаль бросить своих-то, свою-то кровь, а там, на чужой-то стороне, еще что бог подаст.

— Нет, я уж решила, — ласково и упрямо повторяла Марфа Ивановна, опуская глаза, — куда Серапиен Михалыч — и я с ними... А сродственники... тетка есть да дядя, ну, они от меня отказались, как я с Серапиеном Михалычем познакомилась, потому что я... я ведь и теперь невенчанная.

Последнее слово Марфа Ивановна произнесла с заметным трудом и даже побледнела.

— Ох, не нам судить, старикам, — ласковым шепотом заговорил Агашков, делая благочестивое лицо. — Все грешны да божьи, и девать нас некуда... А вы, голубушка, еще мо-

лоды: замолите грех. Да оно по нонешним временам это даже сплошь и рядом пошло, что невенчанные живут, да еще как живут — лучше венчанных. Это прежде строгость была большая насчет браку, а по нонешним слабым временам и разобрать-то не можешь, где грех, где спасение. Другая и венчанная жена, а даже назвать ее не знаешь как... Нет, не судите, да не судимы будете. Так ведь, Нил Ефремыч? — обратился в заключение своей назидательной речи Глеб Клементьевич к Кривополову.

Появление женщины как-то сразу изменило картину жизни в Причине, точно ворвавшийся в комнату луч света. Не говоря уже о Кривополове и Дружкове, которые забыли даже о разведке из-за Марфы Ивановны, все остальные обыватели почувствовали, что случилось что-то такое, что прекратило разом прежнее пьяное безобразие. Вместо составления протокола и прочих громов, долженствовавших обрушиться на отпетую башку Чеснокова, Собакин и Агашков беседовали в квартире Кривополова самым благочестивым образом. Особенно хорош был Глеб Клементье-

вич, точно просиявший всем своим старческим благообразием; присутствие свежей молоденькой женщины наполнило его до самых краев самыми благочестивыми и душеполезными помыслами, которыми он спешил поделиться с Марфой Ивановной. Эти медоточивые речи заставили расчувствоваться даже такого бесповоротно испорченного грешника, как старый Дружков, безобразничавший напропалую по всем градам и весям.

— Подлецы мы все... это ты правильно, Глеб Клементич! — решил Дружков, чувствуя себя совсем «на точке». — Уж какая наша приисковая жизнь... Ох-хо-хо!.. Марфа Ивановна, искушали бы с нами хоть хереску или мадерцы... а?..

Этот непростительный переход от раскаяния к мадерце шокировал всех, и Кривополов тихонько дернул Дружкова за рукав, так что сыромятный старик неловко замолчал на полуслове.

Пока мы пили чай, который разливала Марфа Ивановна, под окнами нашей избы несколько раз мелькали усатые, забубенные головы «отставных» и «бывших», вернувших-

ся с разведки в Причину неизвестно зачем. И этих людей, выкинутых за борт жизнью, тоже интересовало таинственное появление в глуши причинских лесов таинственной женщины. Прохаживаясь под окнами квартиры Кривополова, они, вероятно, припоминали свои лучшие дни, когда и им улыбались красивые и молодые женщины.

Не дождавшись, когда кончится затянувшаяся беседа, я вернулся на квартиру, в избу Спирьки, один. После бессонной тревожной ночи долил мертвый сон. Но в Спирькиной избе мне не удалось отдохнуть, потому что там стоял дым коромыслом — очевидно, там «руководствовали» вернувшиеся с работы «вожи» и проводники: по крайней мере можно было отлично различить голоса самого Спирьки, долгоносого Парфена, Силантия и других. Я пробрался прямо в сарай, выбрал уголок с остатками сена и трухи и, завернувшись в плед, заснул крепким сном, каким спится только после долгого шатания по лесу.

Когда я проснулся, день уже был на исходе. Солнце висело под самым горизонтом, и красноватые лучи заката врывались сквозь щели

дырявой крыши пыльными полосами. Свежесть весеннего вечера давала себя чувствовать, но после долгого, крепкого сна не хотелось шевельнуть пальцем, а так лежал бы без конца с открытыми глазами и думал без конца пеструю полосу плывших в голове мыслей. Это чисто созерцательное настроение испытывается только в полном одиночестве, когда знаешь, что никто тебя не потревожит, и наслаждаешься даже этим сознанием. Лежа на сене, я долго наблюдал игру света и тени на покосившейся стене сарая, по стрехам и прогнившим драницам, точно солнечные лучи делали самую тщательную ревизию недвижимой собственности Спирьки.

— Ладно она их приклеила... — слышался голос Гаврилы Ивановича. — Диво бы еще Кривополов или Дружков, а то и Глеб Клементич туда же... Да и наш-то хорош тоже, нечего сказать. Хотели суды судить с тем, с дьяволом, а заместо того цельный день проклажаются, и полицейские там же прилипли.

— А Глеба-то Клементича видел? — сдержанным полушепотом спрашивал другой, незнакомый голос с легкой хрипотой. — Глаз-

ки-то так и бегают, как по маслу, а сам все насчет души... прокуратит старичонка, уж это верно. Уж такой он охотник до гладких баб, такой охотник... Очень даже я его знаю: ни одной не пропустит.

— Молитвенный старичок, а грех-то за плечами, — глубокомысленно заметил Гаврила Иванович, аппетитно зевая. — Откедова она взялась-то, эта самая Марфа Ивановна?

Наступила длинная пауза. Слышно было только, как кто-то осторожно зевал в руку и что-то бормотал.

— А я ведь ее, Марфу-то Ивановну, даже весьма хорошо знаю... да-а!.. — протянул незнакомый голос. — Верно говорю... даже случай был со мной, то есть касательно этой самой Марфы Ивановны. Может, я, Гаврила Иваныч, и пью-то с этого самого случая... да-а... вот те Христос! Как даве услыхал, что она в Причине, — у меня инда руки и ноги затряслись со страху. Очень испугался даже...

— Да чего тебе бояться-то, чучело гороховое?

— Себя боюсь, Гаврила Иваныч, сердце дрозжит... это тоже понять надо. А сам думаю:

«Не пойду я к ней на глаза — и конец тому делу»... Ей-богу!.. Потому как эта самая Марфа Ивановна хуже мне погибели... Смерть она мне, вот что!

Этот разговор меня заинтересовал. Добравшись до стены, в широкую щель между осевшими бревнами я увидел на дворе Спирьки такую картину: Гаврила Иванович лежал в нашем коробке, закинув ноги на облучок, а на облучке, скорчившись, сидел Метелкин. Он был в своем порыжевшем плисовом пиджаке и в красном шарфе; бледное чахоточное лицо было покрыто розовыми пятнами, и черные большие глаза сегодня казались еще больше. Кажется, Метелкин был сильно с похмелья и с особенным ожесточением курил крючок махорки, постоянно сплевывая на сторону.

— Ведь я у родителя-то Марфы Ивановны еще в мальчиках вырос. Тогда Иван Семеныч гурты гоняли из-под Семипалатинска... Ну, а я был круглым сиротой, вот он и взял меня к себе. При его-то деле с мальчиком способнее, — послать, прибрать, записку написать и всякое прочее. Благодетелем моим был, и по-

жаловаться на него не могу, разве под пьяную руку неукротим на руку был, потому мужчина из себя целая сажень, рука, как пудовая гиря, ну кровь-то в нем как заходит, тогда уж никто не попадайся на глаза — разнесет в щепы. Эти гуртовщики как-то все на одну колодку — чистые лешие...

Зиму жили мы в городе и с весны в степь уезжали, так я в степи и вырос. Ну, как я вырос, большой стал совсем, Иван Семеныч даже женить меня собирался, а это вина я в те поры в рот ни капли... Хорошо. Только у Ивана-то Семеныча и умри ихняя супруга; ну, он с горя-то и принялся чертить, а на руках дочь маленькая. Он ее любил до смерти и с собой везде возил. Тогда Марфа Ивановна была так годку по девятому, а мне шестнадцать. Я с ней и водился, когда Иван Семеныч чертил... Сильно он закладывал, недели по две не в своем виде бывал, ну, скучно в другой раз в степи-то, одурь возьмет, вот с девчонкой и возишься. Ну, а тут и случай подошел...

В отца вся вышла Марфа Ивановна — рослая, полная, как холмогорская телка, а в четырнадцать лет хоть сейчас под венец, кровь

с молоком девка, одним словом... Хорошо. И ко мне она привыкла, как к брату... Хорошо. Веселая была... Ну, однажды ночью Иван Семеныч спит у себя в палатке пьяный, а мы с Марфенькой у огонька сидим да глупости разные болтаем... А надо тебе сказать, что я еще раньше заметил, что стала Марфенька немножко как будто задумываться, даже из себя вся потемнеет. Ну, думаю, нездоровится девке, мало ли что бывает женским делом... Хорошо. А тут вдруг так разыгралась, и глазенки потемнели, а сама, как котенок, так и играет...

Ну, болтали мы, болтали, а Марфенька как схватит меня за шею, обняла да как поцелует прямо в губы, крепко так... Меня как обухом по голове, точно обожгло по сердцу, и свет из глаз выкатился... Сижу это дураком и смотрю на нее, а сам ничего не понимаю... А она смотрит на меня и смеется... «Что вы, Марфа Ивановна, делаете со мной? — говорю я. — Тятенька проснется — беда»... А она мне: «Никого я не боюсь, Вася, потому что люблю тебя... а тятеньки не боюсь».

— Вот так девка... — изумился Гаврила

Иваныч. — Четырнадцати лет, говоришь, была? Экая охаверница...

— Нет, ты это напрасно, — вступился Метелкин, бросая окурок. — Эта Марфа Ивановна совсем особенная женщина... Вон какая она из себя-то, дерево деревом, вся в тятеньку родимого. Кровь в ней, значит, поднялась... А как это она тогда сказала мне: «Вася»... Ну, да что уж тут говорить.

— Обнаковенно... только я думаю так, что не чисто тут дело, не без дьявольского наваждения. Христианской душе прямая погибель через этих самых баб...

— И я то же самое думаю, Гаврила Иваныч, то есть после-то, когда очувствовался, в разум пришел, потому эта сама Марфенька совсем ведь еще дитей была и разных предметов не могла даже понимать. И смелость в ней эта самая — чистый бес, а не девка.

— Чем же это у вас кончилось?

— Да оно, пожалуй, и теперь не кончилось... Видел ведь я сегодня Марфу-то Ивановну... узнала меня... улыбнулась по-своему, а у меня мурашки по спине, захолонуло на душе... и опять: «Вася, такой-сякой... зачем

пьешь?..» Ну, разное говорила. Смеется над стариками, которые увязались за ней. И про своего-то орла сказывала... обошел ее, пес, кругом обошел; как собачка, бегает за ним. Понимаешь, себя совсем потеряла.

— Да и парень: чистяк... Ну, так она чего тебе-то говорила?

— Говорила, что уедет в Америку, только это пустое... Уж это верно. Агашков увязался за Марфой Ивановной и не пустит. Крепкий старичок... я его даже очень хорошо знаю. Карахтер тоже у него... Марфа-то Ивановна теперь, конечно, смеется, а только она по своему женскому разуму совсем даже не понимает людей. Думает, что лучше нет ее-то Серапиена Михалыча, а еще бабушка надвое сказала...

— Послушай-ка, Вася, — остановил Гаврила Иваныч, — а ведь ты мне не обсказал еще своего-то случая, чем у вас дело тогда кончилось.

Метелкин долго не отвечал, делая новый крючок.

— Да чем кончилось — обнаковенно... тоже и я живой человек, совсем ума решился.

Как ночь, отец пьяный спит, а Марфа Ивановна ко мне... Жаль мне было ее загубить, ну, какие еще ее годы — четырнадцать лет, а она пристает, покою нет. Ну, и слюбились... Думал я, что женюсь на Марфеньке, потому как на отчаянность пошел... Обнаковенно: в ноги родителю, а там что будет. Ежели, думаю про себя, Иван Семеныч меня по шее, так я или Марфеньку выкраду у него, или себя порешу. И сделал бы, все сделал бы... отчаянность тогда во мне одна была, да и Марфенька все подучивала, как и отцу объявиться и всякое прочее. Ну, а вышло совсем не по-нашему...

Выбрали мы денек, когда Иван-то Семеныч совсем трезвый был; приоделся я, помолился богу и пошел в палатку, а сердце так и бьется, как птица. Вхожу. Иван Семеныч на счетах прокладывает, посмотрел на меня и спрашивает: «Ну, что, Вася? Чего ты из лица-то ровно выступил, уж здоров ли?» Добрый он был, ежели в своем виде, ну, а тут этой своей добротой точно он придавил меня, как плитой придавил. Уж я и, тут почуял, что не ладно дело... Ну, сотворил я про себя молитву, да прямо в ноги Ивану Семенычу и объявил начи-

сто: все, как на ладонке, выложил. Думаю, разнесет он меня, раздавит, как щепку, а Иван-то Семеныч сидит да только вздыхает...

«Ну, говорит, Вася, заплатил ты мне за мое добро, что я тебя, как родного сына, воспитал... Не к тому, говорит, молвлю, чтобы корить тебя куском хлеба, а к тому, что без всякой совести ко мне пришел. Бога ты забыл, Вася... Я на тебя, говорит, и сердиться даже не могу, потому совсем ты меня раздавил своей превеликой подлостью, а только, говорит, скажу тебе одно: Марфа Ивановна — так и назвал ее Марфой Ивановной — сама свою женскую глупость износит, а только я тебе живую ее не отдам — прокляну. Вот тебе, говорит, мой первый и последний сказ, и даже, говорит, весьма мне за тебя совестно, что ты еще со своей подлостью смел явиться ко мне на глаза». Ну, как он это выговорил, а сам помутнел весь, и слезы у него на глазах, так я и утонул... зарезал он меня своей кротостью.

Метелкин перевел дух и покачал головой, точно она была налита свинцом.

— С Марфой-то Ивановной он все-таки по-свойски разделался — и за косу, и всякое про-

чее, потому как я, говорит, за свою кровь ответ должен богу дать. А Марфа Ивановна свое... Бились мы, бились, а через родительское проклятие не посмели переступить, да и жених подвернулся к Марфе Ивановне. Потом вышла она замуж, только, как слухи пошли, нехорошо жила с ним, то есть он-то ее обижал за ее провинность. А я по приискам пустился, пировал, безобразничал... Видал ее издалька, только подойти боялся. Ну, а теперь вот она с Серапиеном Михалычем ушла от мужа... Все мне рассказала, а сама плачет. «Сняли, говорит, Серапиен Михалыч, с меня мою волю...»

— Шш... хозяин идет, — предупредил Гаврила Иваныч и зашипел опять, как сторожевой гусь.

Флегонт Флегонтович возвращался на свою квартиру нетвердыми ногами, что-то бормотал про себя, улыбался и размахивал руками. Пробравшись в избу, он сунулся на лавку и сейчас же заснул. Теперь я отлично припомнил мельчайшие подробности своей встречи с Марфой Ивановной. Это было на большом сибирском тракте, где на станции

мне пришлось ждать лошадей чуть не целый день. На эту же станцию привезли и Ивана Семеновича, который был не в своем виде; его сопровождала Марфенька. В этой девочке, развитой физически не по летам, меня поразило совершенно особенное выражение глаз, которое уже говорило о понимании «разных предметов».

Осенью встречаю Флегонта Флегонтовича в Екатеринбурге.

— Как ваше дельце? — спрашиваю.

— Какое?

— А с Причиной?

— Ах, да... Знаете, тут вышло маленькое недоразумение. Наше местечко и теперь спорным считается, так никому и не досталось... Помните алеута-то? Ведь его тогда Спирька Косой подвел... а Спирьку подкупил Агашков, а Агашков... Марфа-то Ивановна теперь у Агашкова живет. Да-с... И лучше: старичок-то не надышится на нее, ну, бабенка молоденькая, по крайней мере отдохнет, а алеут-то ее чуть-чуть до смерти не изуродовал. И как ловко алеута поддел Глеб-то Клементич... хе-хе!.. Угожденьем донял молодца,

в лоск его споил, а потом и Марфу Ивановну перетянул за себя... Славная бабочка. Как-нибудь поедемте к ней чай пить... Не хотите? Ну, как знаете, про себя вам лучше знать!

— А где ваш приказчик Метелкин?

— Метелкин? Бедняга приказал вам долго жить... И черт его знает, что с ним сделалось после этой самой золотой ночи — совсем задурил парень: начал пить, безобразия всем строил... И представьте себе, на чем человек может помешаться: увязался за Марфой Ивановной. Ей-богу... Положим, что он ее знал еще дитей, ну, а все-таки, согласитесь сами, даже смешно: Марфа Ивановна и Метелкин. Конечно, она его жалела по своей доброте и прощала разные глупости, а когда он хворал — даже сама навещала его, но ведь это совсем не то-с. Скоротечная чахотка у Метелкина открылась и в две недели его скрутила.

— А где теперь алеут?

— А кто его знает? Исчез, и только. Много у нас таких-то.

Результаты «золотой ночи» окончательно выяснились только осенью, когда были утверждены произведенные заявки. Соб-

ственно, по реке Причинке самые лучшие куски остались спорными, а остальное было разобрано Агашковым, Кривополовым, Куном и прочей прожорливой и добычливой братией... Флегонт Флегонтович остался на бобах и теперь мечтает о каком-то заветном местечке на реке Чусовой, которое ему обещал предоставить самый наивернейший человечек.

Последние клейма

(Очерк)

I

Яркий солнечный день. Короткое сибирское лето точно выбивалось из сил, чтобы прогреть хорошенько холодную сибирскую землю. Именно чувствовалось какое-то напряженное усилие со стороны солнца, та деланная ласковость, с которою целуют нелюбимых детей. А в ответ на эти обидные ласки так хорошо зеленела густая сочная трава, так мило прятались в ее живом шелку скромные сибирские цветочки, так солидно шептал дремучий сибирский лес какую-то бесконечную

сказку. Да, и солнце, и зелень, и застоявшийся аромат громадного бора, — недоставало только птичьего гама. Сибирский лес молчалив, точно он затаил в себе какую-то свою скорбную думу, которую раздумывают про себя, а не выносят в люди. Мне лично нравится эта молитвенная тишина кондового сибирского леса, хотя подчас от нее делается жутко на душе, точно сам виноват в чем-то, и виноват по-хорошему, с тем назревающим покаянным настроением, которое так понятно русскому человеку.

— Эй вы, залетные! — покрикивает сибирский ямщик, который сидит на облучке «этаким чертом». Мне кажется, в его голосе звучит какая-то смутная ласковость, вызванная хорошим летним днем. Со своей стороны, я инстинктивно стараюсь попасть в тон этому настроению и завожу один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся только дорогой.

— Ты из Успенского завода, ямщик?

— Так точно.

— У тебя там дом есть, то есть свой дом?

— А то как же? — удивляется ямщик несо-

образному вопросу. — И дом, и обзаведенье..

Это говорится таким тоном, точно все люди должны иметь собственные дома и свое обзаведенье.

— Так есть дом и обзаведенье? Что же, хорошо.

— Какой же я буду мужик, барин, ежели, например, ни кола ни двора? Которые правильные мужики, так те никак не могут, чтобы, значит, ни на дворе, ни на улице..

— Так-то оно так, да ведь у вас на заводе того... гм..

Ямщик оборачивает ко мне свое лицо, улыбается и одним словом разрешает застрявшую фразу:

— Варнаки мы, барин... Это точно. Уж такое место... да. Каторга, значит, была... Оставили ее, каторгу-то, когда, значит, волю дали. Ну, а мы-то остались, как и были, варнаками. Все под одну масть... Так все и зовут нас: успенские варнаки.

Все это говорилось таким добродушным тоном, что делалось жутко. Я только теперь рассмотрел своего ямщика. Это был еще крепкий старик с удивительно добрым лицом. На

мой пристальный взгляд он снял шапку, откинул на виске волосы и проговорил:

— Из клейменых, барин..

На виске были вытравлены каким-то черным составом буквы С и П, что в переводе с каторжного языка значило: ссыльно-поселенец.

— С тавром хожу, чтобы не потерялся..

— Ты, значит, тоже на каторге был?

— Коренной варнак... Уж нас немного осталось, настоящих-то, а то все молодь пошла. Значит варначата..

— Из какой губернии?

— Мы рязанские были..

Старик совсем повернулся ко мне и заговорил как-то скороговоркой, точно боялся забыть что-то:

— Значит, мы княжеские были... Именье-то было огромадное, а княжиха, значит, старуха была, ох какая лютая. Сыновья у ней в Питере служили, офицеры, а она управлялась в усадьбе. Здоровущая была старуха и с палкой ходила... Ка-ак саданет палкой, так держись. Лютая была... Ну, из-за нее и я в каторгу ушел. Только и сама она недолго покра-

совалась... Повар у ней был, ну так она каждое утро его полировала первого. Терпел он, терпел, ну, раз вот этак утром-то как ударит ее ножом прямо в брюхо. Так нож и остался там... К вечеру померла... Ох, лютая была!.. Повара-то засудили тут же... Четыре тыщи палок прошел. Могутный был человек, а не стерпел — на четвертой тыще кончился.

Старик сделал паузу, тряхнул головой и опять любовно и весело прикрикнул на лошадей:

— Да эх вы, залетные!..

Лошади дружно рванулись и полетели вперед, чуя близкость жилья. Лес поредел, точно он расступался сознательно, давая дорогу. Показались покосы, росчисти, просто поляны и лужайки. Мелькнула прятавшаяся в зелени полоска воды, прогремел под колесами деревянный мостик, шарахнулась в сторону стреноженная лошадь, побиравшаяся около дороги, а там впереди уже сквозь редевшую сетку деревьев смутно обрисовался силуэт высокой колокольни. Через несколько минут раскрылась вся картина каторжного пепелища в отставке... Как-то странно было

увидеть это солнце, всевидящим оком радостно сиявшее над местом недавнего позора, каторжных воплей и кровавого возмездия. Ведь оно и тогда так же сияло, как сейчас, оставаясь немым свидетелем каторжных ужасов.

Что-то вроде предместья, грязная улица, целые ряды горбившихся крыш, точно чешуя гигантского пресмыкающегося, вдали до краев налитый заводской пруд, у плотины новое громадное здание строившейся первой в Сибири писче-бумажной фабрики, выходившей главным фасадом на заводскую площадь с какими-то развалинами.

— Вот тут была каторжная пьяная фабрика, объяснил мой возница, указывая на эти развалины.

Да, не винокуренный завод, а именно пьяная фабрика.

II

Цель моей поездки в Успенский завод (Тобольской губернии) была довольно неопределённая — посмотреть первую писче-бумажную фабрику, погостить у знакомого человека, заняться немножко археологией и т. д. Мой знакомый, инженер Аполлон Иваныч,

строил фабрику и обещал показать все достопримечательности бывшей каторги. Кстати, он занимал квартиру в помещении бывшей каторжной конторы, имевшей самый мирный вид запущенной помещичьей усадьбы. Через полчаса мы пили чай в комнате, где производились когда-то дознания, следовательские допросы и всяческий иной сыск.

Прислуживавшая за столом горничная была из коренных варначек. Чистое русское лицо, без сибирской скуластости и узкоглазия. Великорусский тип сказывался во всем.

— У нас тут все каторжные, — коротко объяснил Аполлон Иваныч, отвечая на мой немой вопрос.

— И что же, есть какая-нибудь разница с другими селениями?

— Никакой... Такие же люди, как и все другие. Даже повышенной преступности никакой не замечается. Ни краж, ни разбоев, ни убийств... Вообще все тихо и мирно. А между тем сейчас еще есть человек двадцать старух из каторжанок... Совсем хорошие женщины и все до одной семейные. Клейменых стариков, кажется, человек шесть наберется. Кстати, по-

следний каторжанин с рваными ноздрями умер лет пятнадцать тому назад. — Я сам его не видел, а передаю, что слышал от других.

По этому отзыву можно сделать совершенно неожиданный вывод, именно, что старая каторга имела самое благодетельное влияние, в корне истребляя зло и совершенствуя преступную волю. Но, как увидим ниже, тут были совсем другие причины и основания.

После чая мы отправились осматривать новую фабрику, что заняло около двух часов. Первая сибирская фабрика была выстроено по последнему слову науки, которое именно здесь, на месте бывшей каторжной «пьяной фабрики» имело особенное значение. Там, где каторжными руками гналось зелено вино для царева кабака, теперь труд вольного человека нашел приложение к совершенно другому делу, — бумага уже сама по себе являлась величайшим культурным признаком. Кто знает, может быть, на этой фабрике выделается та бумага, на которой новые последние слова науки, знания гуманизма рассеют историческую тьму, висящую над Сибирью тяжелою тучей. Впрочем, — это, кажется, уже область

исторического сентиментализма и еще далеких иллюзий. Самой фабрики я не буду описывать, — для меня она являлась только культурным фактором, характерным именно в этом разоренном царстве кнута, шпицрутенов и плетей.

— А как здесь жили прежде! — рассказывал Аполлон Иваныч, когда мы выходили из новой фабрики. — Каторжный винокуренный завод сдавался в аренду, и откупщики наживали громадные деньги. Настоящее разливанное море было... Шампанское лилось рекой, и в Успенский завод часто гости ехали со всех сторон целыми обозами. Еще и сейчас старожилы помнят это неистовое веселье. Тут каторга, и тут же веселье.

Да, какое-то нелепое время было... Сейчас даже и приблизительно трудно себе представить, что здесь творилось. Кстати, вон на плотине стоит скамейка — на ней отдыхал знаменитый откупщик Поклевский. Выйдет на бережок и дышит свежим воздухом. Про него рассказывают чудеса. Однажды он приходит в каторжную контору, а там идет следствие: убили арестанта, и убийцу никак не могли от-

крыть. Каторжные его не выдавали, и следователь ничего не мог поделать. Тогда Поклевский и говорит: «Позвольте, я его сейчас узнаю». Подходит к выстроенным в шеренгу каторжникам, пристально вглядываясь в лица, а потом как ударит одного по лицу: «Ты, такой-сякой, убил?». Тот свалился с ног и во всем признался. Удивительно все просто было..

Деревянное здание упраздненной каторги еще сохранилось. Оно стояло с заколоченными окнами, как ослепший призрак. Вечером мы долго гуляли по заводским улицам. Стройка здесь отличалась от обычной сибирской архитектуры тем, что около домиков там и сям зеленели садики на великорусский манер. Очевидно, здесь жили невольные выходцы откуда-нибудь из коренной России. Сибиряк не выносит подобных нежностей, что и понятно — и без садика достаточно кругом леса. Попадавшиеся варнаки и варначки заметно выделялись красотой какого-то смешанного типа, особенно женщины. В Сибири вообще так мало красивых лиц, благодаря слишком большой примеси всевозможной

инородческой крови.

— Кого-кого только тут нет, — объяснил Аполлон Иваныч. — И великорусы, и хохлы, и остезейские немцы, и черкесы — настоящая каторжная мозаика. Потом все это слилось, выработался свой смешанный тип, то есть совсем новый этнографический человек. Кстати, завтра, воскресенье, так сами увидите нашу публику.

— Скажите, отбывшие каторгу и переведенные в разряд ссыльно-поселенцев делались семейными людьми?

— Обязательно... Невест доставляли со всех концов России на каторгу в достаточном количестве — выбирай любую. Из всех этих каторжанок вышли прекрасные жены, матери и хозяйки. Я на знаю ни одного случая, чтобы баба отбилась от дому и разрушила семью. Оно и понятно: каждая прошла такую ужасную школу, что свой угол являлся раем. Замечательно, что все эти каторжники были совсем молодые и почти поголовно дворовые. Я как-то просматривал списки и нашел всего двух в бальзаковском возрасте. Кстати, у нашего батюшки есть списки, и вы сами по-

смотрите..

В течение целого дня все наши разговоры обязательно сводились на каторгу. Да иначе, конечно, и быть не могло. Самый воздух здесь был насыщен этими каторжными мыслями...

III

В Успенском заводе мне пришлось прожить дня три, и самое интересное, что я видел, это подробный список каторжан за несколько лет. В моих руках был исторический документ громадной важности, в своем роде синодик крепостного права и его резюме. Раньше я говорил о заводских крепостных разбойниках, являвшихся единицами, а тут получалась уже полная картина. Список был красноречиво — краток: имя, звание, состав преступления и форма наказания. Рассматривая этот список и делая из него выписки, я осязательно убедился прежде всего в том, что главный контингент преступников создавался именно крепостным правом. Некоторые преступления носили почти сказочный характер: один крепостной крестьянин был приговорен к четырем годам каторги за кражу сахара у своей помещицы, другой к тако-

му же наказанию за кражу меда и тоже у помещицы. Что это такое — ирония, насмешка, глумление?.. Логика отказывалась здесь работать, да и какая могла быть логика в этом царстве произвола и всяческого насилия? Еще характернее была группа женщин. Все это были молодые девушки и поголовно из дворовых, в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет. Главное преступление — поджог. Очевидно, мы тут имеем дело с тем протестующим возрастом, который никак не мог согласиться с существующим порядком. Женщина служила здесь тонким реактивом всеразъедавшего яда. В числе этих преступниц только одна приговорена была за детоубийство, и та была солдатка, а затем другая за сорок лет, польского звания, «по особым причинам». Читая этот мартиролог, приходилось переживать гнетущее чувство... Ведь под этими именами, датами и лаконическими отметками наказаний похоронено целое море никому не высказанных страданий, зол, бед и стихийного бессмысленного зла. А главное, читателю было ясно, что все эти преступления и наказания сделались немыслимыми

после 19 февраля. Только читая этот мартиролог, понимаешь во всем объеме всю величину того зла, которое уже отошло в область преданий.

В мужской группе каторжан после преступлений против помещичей власти выступали нарушители воинского устава. Палочная солдатчина поставляла громадный запас каторжного мяса. И какие наказания... Строевой солдат шестидесяти лет, — заметьте: строевой, — приговорен был к четырем тысячам шпицрутенов. Вообще что-то совершенно невероятное, подавляющее, колоссальное. И что всего замечательнее, что все эти правонарушители, «отбыв каторгу», то есть шпицрутены, плети, кнут и пьяную фабрику, сейчас же превращались в самых мирных обывателей, делались семейными людьми и не обнаруживали какого-нибудь особенного тяготения к преступлениям. Каторга не исправляла их, а только снимала с них крепостное ярмо, невыносимую солдатчину и прочее зло доброго старого времени. Пример в высшей степени поучительный..

Из Успенского завода мне пришлось воз-

вращаться с тем же клейменым ямщиком.

— Что, дедушка, тяжело было на каторге?

— Несладко, барин... А только ежели сказать правду, так ведь мы здесь в Сибири свет увидели. Поселенец, и все тут. Теперь-то все стали вольные, так и не поймут этих самых делов. Дома-то у себя в Рассее похуже каторги случалось... Особливо бабам эта самая каторга была на руку: отбыла года и вся своя.

— Бабам легче было?

— Ну, у них своя причина... Конечно, на пьяной фабрике они не работали и по зеленой улице их не гоняли, опять же не клеймили, ну, а только очень уж обижали смотрителя, особливо которая из лица получше. Навязался тут один старичонка смотритель, ласковый такой да богомольный, так он, кажется, ни одной не пропустил... Как новую партию пригонят, так он только ручки себе потирает. Одним словом, озорник..

— А наказывали страшно?

— Случалось... Палач был Филька, ну, так его привозили к нам из Тобольска. Здоровущий черт был... Ну, как его привезут, сейчас у нас сборка денег ему, чтобы, значит, не люто-

вал. Ведь ежели бы он все по закону достигал, так и в живых никто не остался бы.

— А шпицрутены?

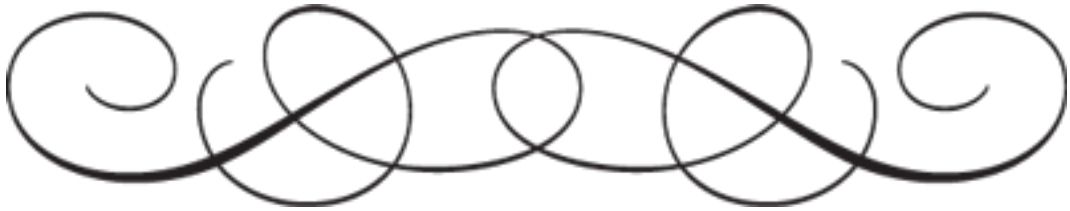
— Ну, это почище плетей в тыщу разов... И рассказывать-то барин, страшно. Одного тут у нас наказывали... Ермилом Кожиным звали. Он целую семью загубил. Ну, так его и повели по зеленой улице... Нас всех для острастки в две роты выстроили. Ну, раздели его — могутный мужик, тело белое. Этакому-то труднее... На первой тысяче свалился... Положили его на тележку и везут. Все-таки второй тысячи не дотерпел... Дохтур уж его пожалел: «Дайте, говорит, водицы испить». А уж это известно: как на наказании напился воды — тут тебе и конец. Ну, с двух тысяч Кожин-то и кончился... Все одно, от начальства был приказ забить его насмерть, и солдат расставили пошире, чтобы замах делали больше. Ох, и вспоминать-то это самое дело нехорошо...

Опять был солнечный день. Опять по сторонам дороги сплошным войском тянулся лес. Опять стояла тишина знойного дня, и невольно казалось, что эта та зловещая тишина, которая наступает в доме, где покой-

ник: за нами оставался громадный покойник — каторга. Кстати, есть характерная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет.

УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

(Из сборника)



«В худых душах...»

I

— Вот тебе и Шерама... — проговорил мой возница, тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за пригорка степной речки Уразаевки. — Как на ладонке...

Шерама, село дворов в полтораста, красиво облепило бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попадается очень много. Одно только портило картину: насколько хватал глаз, ковром расстилались все поля и поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Уразаевки красовались вековые бора, — и аборигены Шерамы, башкиры, откочевывали на летние тебеневки

далеко, в Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шераминские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконечные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнувших в Зауралье лесов живо напоминает историю прежних обитателей этого благословенного края, башкир; последние давно уже вытеснены из лучших мест русским населением. От башкир остались во многих местах только одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шерама — несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не найдете ни одного башкира, как и по всему течению Уразаевки. Здесь плотно и крепко осело русское население, и между бывшими башкирскими деревнями рассажались чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так далее.

Но зауральский мужик совсем не того ти-

па, к какому привык глаз в великорусских губерниях. Здесь живет народ «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова: есть), «народ-богатей», если сравнить с «Расеей». Матушка Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и промышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь с своими притоками; позади стеной подымается Урал — было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем облучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на ладонке».

— Важное село, — говорил, любуясь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке. — А вон дом попа Якова... Естевой поп. Тебе к нему?

— Да.

— Ну, ты, ма-ахонькая! — прикрикнул на

свою лошадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного холста надулась парусом, показывая свои кумачные ластовицы. — Попадья Руфина пирогом попотчует, — прибавил Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

— Любите попа Якова? — спросил я.

— Якова-то? Пошто его не любить — любим... Он у нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму. Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди, посеяно — да скотины сколько... всякой всячины — дивно! Яков-то все у нас сам доспиет[187], своими руками, оттого мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан, так лошадь-то только-только не закряхтит, едва выворотит полосу-то. Важно пашет... А примется косить или сено метать, или молотить — только успевай глядеть. А вот жать — нет, не может, — с улыбкой прибавил Евмен, поглаживая свою бороду мочального цвета: — брюхо не позволяет... Как нагнется, глядишь — и

сел. Ей-богу!.. Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перевалило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен тряхнул своей головой и, поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

— А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...

— Что так?

— Да так... — коротко ответил Евмен таким тоном, который делал дальнейшие расспросы совершенно излишними.

Мы въезжали в самое село. Широкая улица, обставленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной белой церковке, красиво прятавшейся в густой зелени черемух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде всего обратило на себя внимание деревенских собак, которые с азартным лаем настоящих провинциалов провожали нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот домик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-

вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую разносившуюся шляпу.

— А вот и попадья Руфина!.. — проговорил Евмен, когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке к воротам, точно по ковру.

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой улыбке.

II

— Здравствуйте, Руфина Анемподистовна, — здоровался я, слезая с телеги. — Не узнали меня?

— Да где тебя сразу-то узнаешь, — отозвалась добродушно старушка, видимо еще со-

мневаясь в твердости своей памяти. — Ах, батюшки... да ведь это ты... — встрепенулась старушка, называя меня по имени. — А уж я-то не чаяла тебя и в живых видеть... Никак, лет десять будет, как ты не бывал у нас?

— Около того.

Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схватив за рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, что имеет дело не с призраком, а с живым человеком. Конечно, при таком благоприятном случае старушка не преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским всхлипываньем шептала:

— Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. Все, небойсь, учился? Ох-хо-хо... Учитесь вы до седого волоса, а когда жить-то будете...

— Как отец Яков здравствует?

— Здоров, ничего... Что ему сделается?..

Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. Службы были заняты «стойками» для скотины, амбарами, сусеками и громад-

ным сеновалом. На задней половине двора помещалось отделение живности; из-за перегородки весело смотрела мохнатая голова годовалого жеребенка; несколько овец лежало в тени амбара, вытянув по земле шеи. Из самой глубины двора выглядывала маленьким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил отдохнуть летом после обеда часок-другой и «позолотить хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на которой только что приехали с поля; на колесах оставались следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все стороны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная трава. Под навесом у погреба были сложены бороны.

— Милости просим... — говорила матушка Руфина, с легким перевальцем утицей забегая по настланным дощечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню и любовно смотрела на меня своими черными глазками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогом сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я всегда с некоторым благоговением переступал через этот порог; за ним

каждая вещь говорила о неустанном, вечном труде. Налево от входных дверей, за косяком, стоял обыкновенно посошок о. Якова; если посошок дома — и хозяин дома, посошка нет — и хозяина нет. Теперь посошок отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревянная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящиков, ящичков, коробушек, плетенок и тому подобного «хлама», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. От самого порога сеней вела в горницу белая, как снег, тропинка из домашнего холста.

Ход в горницы шел через кухню, и другого не полагалось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное крыльцо строить, — говаривал поп Яков. — Я, брат, своими руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не скоро бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пряталась за ситцевой занавеской, посуда была всегда прибрана, и, может быть, только один пузатый самовар, всегда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение своим присутствием.

— Снимай балахон-от свой, — говорила ма-

тушка, помогая мне снять верхнее пальто. — Гость будешь, да еще какой гость-то... Вот ужо поп придет, так он как обрадуется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу и была перегорожена низенькой ширмой пополам. За ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошечную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял совершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, не то старой вишневой наливкой или геранью — не разберешь хорошенько.

— А это у вас что за оружие? — спросил я, рассматривая полицейскую шашку, которая висела на ширме вместе с белым кителем.

— Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища его тогда исключили! Это его муниция... Он у нас урядником служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

— Кого?

— Да в Поломе-то попом отец Ксенофонт, а у него сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу комнаты, были разложены книги и стопкой лежали подобранные номера газеты. На одном переплете я прочитал «Das Kapital, von Marx»[188].

— Это Кинтильяновы книги, — предупредила мой вопрос старушка. — Ты его не помнишь, поди? Нет, где помнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас в последний-то раз.

— Ведь у вас еще два сына?

— Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в Зюзиной служит, а Никаша — дохтуром земским. Четверо их у меня.

— А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.

Старушка только махнула рукой.

— Замуж вышла?

— Нет...

— Умерла?

— Хуже... — прошептала со слезами на гла-

зах бедная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила: — Ужо расскажу тебе вечером, когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обедать сейчас будем.

III

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив меня, проговорил своим густым баском:

— Да это никак...

Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхозаветных патриархов, поп Яков для меня служил живым и наглядным примером; я отлично представлял себе фигуру библейского патриарха Иакова — стоило только закрыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в течение которых я не видал его, почти не изменили его наружности, за исключением разве того, что косматая окладистая борода из седой превратилась в желтую,

да на высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И костюм на о. Якове оставался тот же, то есть нанковый синий подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынешние модные батюшки уже совсем не носят; из-под подрясника выглядывала ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под самыми мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колоссального ребенка. Старик любил в таком виде работать во дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему необходимо, потому что подрясник только заплетал ноги и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими большими серыми глазами строго и внушительно; губы всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица сказывался человек, который «в поте лица снискивал» свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность попа Якова, его медлен-

ную речь, веселую умную улыбку, которою все лицо точно освещалось.

На этот раз меня неприятно поразила только одна перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яковом, — но это по наружности. Глаза же смотрели как-то неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно поглядывал в окно; улыбался он тоже не попрежнему — какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем — в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке — чувствовалось то «неладное», о чем мне говорил дорогой Евмен.

— Ну, мать, соловья баснями не кормят, — заметил о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое казинетовое пальто; казинетовые брюки были заправлены за сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, была точно так же подпоясана гарусным пояском и выпущена поверх брюк, на мещан-

ский манер. На вид ему можно было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и придавала ему какую-то преждевременную серьезность. Вообще и ростом и лицом Кинтильян походил на мать; отцовского в нем оставались только одни глаза — серые, большие, строгие, с темными густыми ресницами.

— Милости просим... — приглашала матушка, появляясь в дверях. — Только уж ты, гостенёк, не обессудь нас на нашей простоте... Нечем тебя угощать-то, потому приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

— Ничего, вечером пельмени сделаешь, — успокоил о. Яков старушку. — А теперь пусть отведает нашего мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со сто! — пошутил батюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный столик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. Кушаньев было собственно два — щи и гречневая каша. Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда.

Таких щей никто не умел делать, и старушка гордилась своим искусством.

— Давно ли попал в наши Палестины? — спрашивал о. Яков между первой и второй чашкой щей. — Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет.

— Ну уж, пошел... — с неудовольствием заметила матушка.

— Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозрения, — говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спросил: — А где у нас Прошка, мать?

— Сам знаешь где, — неохотно ответила матушка.

— Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за столом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз принимался бранить то Петербург, то Прошку. Кинтильян хранил самое упорное молчание и не проронил ни одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горницу, закурил свою деревянную трубку и

опять навел разговор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь номер, где карандашом было отмечено все достойное примечания.

— Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то, — говорил старик, указывая на свой могучий затылок. — Ой, как солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока повытер... Кажется, живешь себе в таком месте, что и ворон костей не заносит, а глядишь — не тут-то было. Да!.. Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, разве про войну прочитаешь, а нынче не-ет... Ждешь не дождешься номера-то, как Христова дня. Не прежние времена... Вон мужики — и те как газеты любят читать. Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дрова рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка — из Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспаленными глазами посмотрел на всех. Плотный,

коренастый Прошка цвел завидным здоровьем.

— Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? — спросил о. Яков.

— Н-нет... мы помирились, — заплетавшимся языком ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной улыбкой. — Мы с Ксенофонтом-то целую четверть раздавили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... Он меня сначала-то за ворот схватил...

— Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко смердящего пса! — заметил о. Яков. — Взятку, небойсь, хотел взять?..

— Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот четвертную мученицу ничего... не воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же преобразился, принял деловую осанку, нахмурил брови и строго спросил:

— А позвольте, милствый гсдарь... документы!

— Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не будешь знать, которым концом

сесть... — зарычал о. Яков.

— Да я так... пошутил... — осклабился Прошка и, махнув рукой, прошел в горницу.

Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как-то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыхала и подбирала губы оборочкой, делая вид, что ничего не замечает.

IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, между прочим, о местных новостях.

— Ябеды везде пошли, — объяснил мне старик. — Прошка-то, — видел его давеча, — раньше был сельским учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него доносы писал: и в церковь, мол, не ходит, и газеты мужикам читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а потом за свою простоту в урядники попал... И как это он устроил — ума не приложу. А как попал, и пошла

потеха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с отцом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, а Прошка его ловить... Теперь у них такая каша, что упаси боже!.. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и силен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежует Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на завалинке, подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стойки, где мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старушка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись на один бок, с старческим покряхтыванием семенила по двору. Когда она прошла с большим дойником доить коров, поп Яков поднялся и проговорил:

— Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудренее... А мне еще нужно к завтрему дров наносить попадье да телегу вымазать.

— А что ваш доктор? — спросил я.

— Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сделается. Недавно был у нас с женой...

Ты разе не слыхал? Женился... Такую госпожу в очках подцепил, что... Ну, да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а глянется, так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. Там матушка Руфина когда-то успела уже все приготовить. На широкой лавке был постлан киргизский войлок, покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взбитая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась горой. Рядом с постелью на деревянном табурете была поставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и невольно улыбнулся. Это были какие-то литографированные записки по женским болезням. Нужно сказать, что матушка Руфина не умела читать и притащила первую попавшуюся под руку книгу.

В бане было немного душно, и я открыл окно. На меня глянула пахучая летняя ночь и

краешек синего неба, усыпанный звездочками, как серебряными блестками. Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ряды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в низкую изгородь, которою усадьба попа Якова разграничивалась с владениями церковного старосты, зажиточного мужика Никитича. По наружной стороне бани по натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; пара молоденьких веточек его с детским любопытством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопытными и серьезными черными глазками, с неправильным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдавала теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то перекликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо по-

громыхивая, прокатилась по деревенской улице запоздалая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено поет русский человек; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора Никашки.

Странный был человек этот Никашка. Как теперь вижу его в коротенькой люстриновой поддевке, в таковых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любопытно и насмешливо выглядывали два черных бойких глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими губами отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. Одним словом, уродился Ни-

кашка, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и таким жить пошел, да, вероятно, таким и останется до гробовой доски.

Помню — это было в начале шестидесятых годов, — как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, да скоро бросали, а Никашка так и остался в ней на всю жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было совсем особенное, не в пример другим. Идеальное было время, хотя Никашка в простоте своего сердца считал себя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгладимо сильное впечатление производил Никашка тогда на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежденное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об alma mater[189].

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспо-

минанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил.

V

— Ты не спишь еще? — послышался голос матушки Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в оконце.

— Да еще рано...

— То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, загляну, — прибавила старушка, точно в свое извинение. — Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... Не воровать пришли!

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально. В раме окна на темном фоне матушка Руфина походила на портрет старинной голландской школы.

— О чем с попом-то разговаривали даве?

Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохнула и, пристально взглянув на меня, заговорила:

— Ничего-то я, ровнешенько ничего не понимаю... Хоть расколи меня! Точно вот не я

слушаю, а кто-нибудь другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высморкалась и, вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

— Вот я и пришла к тебе... поговорить с тобой. А то хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым костям...

— Что вы, Руфина Анемподистовна, — поспешил я успокоить старушку, — зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнувшись сквозь слезы, прибавила:

— Известно, раньше смерти не умрешь... а только пора. Как человек не стал ничего понимать, значит, пора и в землю. Чего даром-то небо коптить?

— А вы о чем со мной хотели поговорить?

— О чем поговорить-то хотела?.. — в раздумье повторила мой вопрос старушка. — Видишь ли, надо сначала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а потом уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого начала рассказывать...

— Рассказывайте, я с удовольствием послу-

шаю.

— Ты ведь Никашу-то помнишь?

— Как же, очень хорошо помню. Он женился?

— Женился... — уныло ответила матушка. — Была я у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в городу живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово неспроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рождеством я и собралась от свободности. А давно в городу не бывала, да и на лошадях страсть боюсь ездить... хуже смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, если и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, часов этак и десять утра, а он еще спит, и жена спит. В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном конце дома, он на другом. Грешным делом, случись по-

жар, один сгорит, а другой и не услышит. Все по-образованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а работница вышла разряженная такая...

— Горничная?

— Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... Только хотелось мне чайку испить с дороги — не посмела, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревенская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, а все не смею спросить самовару... Только встали, наконец, то есть Никашка встал. Увидал меня, обрадовался. Сидим, калякаем. Только выходит жена... А я еще и не видала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. Из себя женщина довольно полная и молодая, ну, а личиком как будто не вышла маненько... Шадрина и глаза как-то навыкате, точно кто ее стукнул по затылку. «Наташа, — говорит мне Никаша, — умная... Ты уж не обращай на нее внимания, у ней, говорит, карак-

тер...» Как-то это он мудрено выразил, да я и позабыла. «Вижу, говорю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, чайку испить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь она грязна, столь грязна, — и не умею сказать... Вот когда перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде. И самовар, и чашки — все под одну стать... Ну, мы с Никашей чай пьем, а жена в книжку читает и цигарку при этом курит. Только в своей деревенской простоте я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год проживаешь?» Женато как воззрится на меня. «Вы, — говорит этак высоко, — подсчитывать, что ли, нас приехали?» — «Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. Ну, не понимаю, значит, как это пообразованному-то люди живут, дай погляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила по комнатам, мебель посмотрела, обзаведенье... А жена все в книжку читает, точно по комнатам

кошка ходит. Ей-богу. И смешно мне и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть до самого вечера высидела... Обедают у них в семь часов вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор да и велела лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, не емши, и уехала от гощенья; дорогой уж калачик городской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к тому рассказываю, чтобы жену Никаши осудить... Господь с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ничего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! О чем я, бишь, хотела рассказать-то... Ты перебил меня этой свадьбой-то...

— Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.

— Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было переходить... Нет, не так. Мит-

рею — в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По-моему, это не подходяще попу... Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить, да в учителя и определил... Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-никак, а все при месте. Опять вздохнули мы с

попом свободнее, думаем — теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет, — а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:

— Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенькой, — так начала старушка подавленным голосом, — только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное да нежное дитятко... Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился — и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хва-

лить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки парень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, карактер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать — стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яковличем да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать. Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная де-

вица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих цигарок... А здоровье у него, точно бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем...

Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел, — продолжала старушка: — отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал — ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на поди... Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?» Тут уж отец из себя вышел: засучил рукава, да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы — дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет — так только будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и ко-

рят...» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» — «Учиться», — говорит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял — ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается...

Прошло этак года с два, — продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом, — тут нам Кинтя и объявился в Шераме. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то были!

Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городу курс кончила; Никаша ее на свой счет учил — ну, нам радость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Недаром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

VI

— Теперь об Ане сказать... — дрогнувшим голосом проговорила старушка. — Последнее наше дитятко было, Аня-то! Маленькая замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила...

Вот у тебя простыни да одеяла — это из приданого Ани... Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то — дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться... Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку...

— Куда увел?

— Да в этот ваш Петербург... Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не рехнулся, или над Кинтей чего не сделал... Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожоное, а никак ты его не распознаешь... Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались

мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно... Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-то нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, а все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли — ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не выезжала... Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная

старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросонков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумаю... Крепок он на слезы, — можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» — «Какой такой сон?» — спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу... Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. «Кинтя!» — окликнул я. Смотрит на меня, а ничего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возношу молитвы, а ты... что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде...» Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет... «Папа, — говорит это, а сам пла-

чет, — папа, прости меня... Я не могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!» От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо него... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего нет-нет да и поклонник и отложу, — тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора с плеч...

Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась домой, — прибавила с оживлением старушка. — Зимой было дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощупью, знакомое место. Только это отворила

дверь в баню, гляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он ужо меня кокнет чем ни на есть. А потом и слышу Анин голос: «Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура дурой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, значит, убежала, да и пришла к отцу... Еще мужчинка перебьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедовое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особливо в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки укрепилась, не сказала ничего попу, а сама отогрела Аню, накормила... Материнское сердце, из себя кусок готова вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с две и хоронила я Аню по разным углам, а сама и ночей не сплю, и днем мне спокою нет... Где стукнет, где брякнет — так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И богу молилась, и зарок давала...

Такую муку приняла, такую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут уж поп Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это он узнал — ума не приложу. Ну, сейчас донос исправнику и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... Вот этак ночью лежим мы на кровати с попом. Он спит, а я все слушаю... вот все равно заяц в логове. Все мне мерещится, — встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. Знаешь Петра Иваныча... Славный такой, чаем сколько раз угощала его, ну, а тут так и думаю, зарубит он меня, беспременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из лица вышел, а потом сотворил крестное знамение и говорит: «Делайте, что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг у меня никакого страху не стало... Вот на столечко (старушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни Петра Иваныча,

никого... Ей-богу!..

Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать, — прервала старушка нить своего повествования: — была у нас курица кохинхинка... Славная такая курица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-то. Ухватилась за него да на крыше его и задолбила. Вся деревня тогда диву далась, — отроду не видывала этакого чуда... Ну, так когда Петр Иваныч-то после сказал, что надо теперь на дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, думаю, Аню, и кончено... Мое — не тронь!» Ей-богу, согрешила пред господом богом, — так и подумала... Ну, пошли по двору, потом, в баню. Думаю про себя, Аня беспременно под полок залезла или под лавку, прикрою как-нибудь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в баню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, голубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то и давай

ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кричу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли. Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не вышло. Теперь у Никаши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь домой ее взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими старческими слезами, которые так и сыпались у ней из глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по морщинам. Матушка Руфина не вытирала своих слез и не стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шептали:

— Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... Так вот все ее и вижу пе-

ред собой: как живая стоит... И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть забудусь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног... Рахиль бо плачущися о чадех своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

VII

— А Кинтильян скоро вернулся? — спросил я, выводя матушку из задумчивости.

— Кинтя-то... как же, вернулся, — проговорила старушка, просыпаясь от своего раздумья. — Только его шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и в живых давно его не чаяли и в поминании за упокой поминали... Уж сколько слез было принято, сколько горя — и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед страстной... Тогда уж оттеплело, проталинки пошли... ну, этак вечерком, в сумерках уж, убираю я в кухне молоко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяжка какой-нибудь. Много их об

эту пору из Сибири в Расею бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, несчастненьким. У других и полочки такие у окошек приделаны для потайной милостыни, чтобы ночью ежели придет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка раньше, а тут ребята сломали, поп все не мог собраться наладить ее. Вот я отрезала ломоть хлеба, высунула руку в окошко и говорю: «Прими Христа ради...» Вижу, что мужчина стоит в рваном этаком зипунишке и даже совсем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я это ему хлеб-от, а он не берет, а только таково пристально смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе надо, родименький?» — «А вы не узнаете меня?» — спрашивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять и говорит: «Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня ноженьки подкосились, закричала я, а поп бросился за ворота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы его чаем, накормили, а он зеленехонек, и видно по обличью-то, что из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно уж при-

метно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рассказывает, а поп и говорит мне: «Попадья, а помнишь мой сон?» Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река-рекой... и радостно мне и горько. А уж ночь на дворе, поп и говорит: «Ну, милый человек, не взыщи — обогрели мы тебя, накормили, а ночевать попросись к кому другому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хорошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, что бродяжка ночевал, — со свету сживут...» Говорит это поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяжке... Тут уж Кинтя и не стерпел — бродяжка-то Кинтя и был наш, — как заплачет... Не поверишь, мы родного сына не признали. Не признаем, и кончено: не такой у нас Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятнышку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли,

радоваться ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воротился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пытала я спрашивать Кинтю, что и как... Ничего не сказывает, только этак улыбнется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, маменька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скучный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел на меня и говорит: «Пусто, маменька, вот здесь (показывает на грудь), недолго поживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...

А теперь о себе-то тебе расскажу, — продолжала старушка. — Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет — у нас и душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. С требой как-

то приехали за попом, так он со страху на погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... И грех и смех! Так в худых душах[190] и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Прежде вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нынче в худых душах живем. Погляжу это я кругом-то и точно отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить будем — одной царице небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опустив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окутывавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или три продолжали еще теплиться мигающими блестками. Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснет-

ся разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял подозревать что-то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни...

— Гляди-ко, гляди... — зашептала таинственно матушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка приотворились, и в них показалась седая голова самого хозяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а потом, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал глазом к узкой

щели в полотнище калитки. Что-то такое жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца...

Башка

(Из рассказов о погибших детях)

I

Утро было отвратительное, точно природа выворотила из своих недр всю грязь, какая только была в запасе. По небу ползли низкие, грязные облака, цеплявшиеся за самые крыши городских домов. На улицах грязь стояла по колено, и можно было подумать, что с неба в течение двух последних дней лился не дождь, а помои. Грязь, грязь и грязь — целое море грязи, в котором уездный городишко Пропадинск растворялся, как брошенная в стакан воды горсть соли.

— Совершенная подлость! — коротко заметил густым надтреснутым басом Башка, взглянув в запотевшее окно на улицу.

В этот момент все кругом окончательно потонуло в мутной кружившейся мгле, свер-

ху тихо начали падать хлопья мокрого снега и сейчас же таяли в липкой, точно разведенной грязи. Через полчаса окна кабака «Плевна» были залеплены мокрым снегом, так что внутри сделалось совершенно темно, как в сумерки.

— Экое божеское произволенье! — флегматично заметил сиделец «Плевны», толстый и рябой мужик в плисовом пиджаке; его звали обыкновенно Иван Василичем, а под сердитую руку просто Ванькой Каином. — Ну, Башка, дело дрянь выходит... совсем как есть дрянь!

Башка протянул свои длинные ноги в стоптанных опорках и ничего не ответил, а только передернул широкими плечами. Облокотившись жилистой, волосатой рукой на стойку, он низко опустил свою лохматую голову с легкой проседью в русых кудрявых волосах. Костюм Башки давно требовал самой серьезной ремонтировки, потому что засаленный старинный сюртук с узкими рукавами и широким воротником расползался окончательно и дал несколько трещин по швам, а серые триковые штаны готовы были свалить-

ся каждую минуту, не говоря уже о выдавшихся заплатанных коленках и точно выеденных задках раструбов. Но Башке было не до костюма. Он был весь поглощен одной идеей, сосавшей и щемившей его с раннего утра: это — опохмелиться. Все громадное тело Башки ныло каждой косточкой, каждой каплей крови, а в трещавшей голове колесом вертелась одна мысль. Его широкое лицо с окладистой бородой, густыми бровями, приплюснутым носом и высоким лбом точно было подернуто сегодня туманом, а маленькие серые глазки смотрели воспаленным взглядом.

— Хоть бы черт принес кого-нибудь, — проворчал Башка, поглядывая на отворяющуюся и затворяющуюся дверь кабака. — Этакая мерзость!

Непогодь гнала народ в «Плевну», но это все были чужие: извозчики, отставные солдаты, мужики с базара, несколько мастеровых. Они вносили с собой комья грязи на ногах, отряхивали снег с шапок, ругались и подходили к стойке Ваньки Каина, который не успевал сегодня поворачиваться, наливая стаканчики из толстого пузыристого стекла. Водка

выпивалась, слышалось здоровое кряканье совсем прозябших людей, на стойку сыпались пятаки, а потом долго прожевывалась захваченная с собой закуска. «Ух, студено!» — кричал приземистый, плотный извозчик, отворачивая полу своего кафтана, чтобы достать кисет с деньгами. Он как-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот стаканчик водки, закрыл глаза и одним глотком покончил всю церемонию. Башка старался не смотреть на эту картину, но это не мешало ему чувствовать каждый глоток водки, разливавший блаженную теплоту. Ванька Каин казался каким-то необыкновенным капельмейстером, который разыгрывал целую оперу.

«Нет, чтобы предложить опохмелиться... ну, какой-нибудь стаканчик, — с тоской думал Башка, и ненависть к Ваньке Канву несколько парализовала ломавшее его жестокое похмелье. — Этакая шадривая каинская рожа!.. Ведь рассчитался бы после. У! дьявол... И как назло никого нет: ни Хохлика, ни Корнилыча, ни Трубы».

Кабак «Плевна» был из привилегированных и находился почти в центре города, в глу-

хом переулке, который шел от Хлебного рынка. Прямо из сеней дверь вела в большую полутемную комнату со стойкой Ваньки Каина в глубине; это, собственно, и был кабак; из-за стойки маленькая дверца вела в каморку самого сидельца, а другая дверь из кабака вела в две следующие комнаты, предназначенные для публики почище, собственно для кабацких завсегдатаев вроде Башки. Эти завсегдатаи редко останавливались перед стойкой, а проходили дальше и проклажались уже в своей компании. Случайные посетители и мужичье толклись обыкновенно в первой комнате или сидели на широкой грязной лавке, поставленной вдоль всей передней стены. Теперь, собственно, была полна только эта первая комната. Но музыкальное, чуткое ухо Башки уже поймало знакомые торопливые шаги в сенях: это без сомнения был он, Корнилыч. В растворившихся дверях показалась сгорбленная юркая фигурка в пиджаке и фуражке; раскланявшись с Ванькой Каином, она быстро исчезла в соседней комнате, куда поплелся и Башка.

— Едва ушел... — торопливо рассказывал

Корнилыч, моргая своими рысьими глазками. — Всего две партии сыграл на биллиарде, подвинул двенадцатого шара рукавом, ну, меня и взбрили. В бок здорово саданули кулаком... Ну, а ты? Вижу, вижу... Эх, скверно!..

Корнилыч запустил руки в карманы брюк и забегал по комнате маленькими шажками, как ходят трактирные половые; на его пиджаке мокрыми отпотинами обозначались остатки мокрого снега, а плечи просто дымились от пара.

— Нет, Ванька-то... а? Каков подлец?! — громко проговорил Башка, останавливаясь посредине комнаты в самой трагической позе. — Ведь видит, шельма рогатая, как живого человека кочевряжит, и хоть бы какой наперсток...

— Это ты напрасно, Башка, — уговаривал Корнилыч. — Где же вас всех поить даром? А без Ваньки куды бы мы? Пропадай, как червь.

Башка крепко выругался, но должен был согласиться с Корнилычем, который всегда и всех оправдывал и даже на самого себя смотрел как-то со стороны. Лицо у Корнилыча было бойкое, всегда измятое и всегда добродуш-

ное; остриженные щеткой волосы дали повод называть его в своей компании «ерошкой». Он был замечательный мастер разговаривать и знакомиться с кем угодно и был самый необходимый человек в хорошей компании.

— Ну, а снег? — спросил Башка, что-то соображая про себя.

— Снег? Подлец, а не погода... так и лепит. Мне за воротник сколько насыпало... бррр... У тебя покурить нет? Ну, не надо...

Ерошка наслаждался теперь и охватившей его теплотой гнилого кабацкого притона, и сознанием собственной безопасности. Эти грязные, покосившиеся стены, избитый точно в конюшне пол, пропитанная специфическими кабацкими миазмами атмосфера, — все ему было дорого и мило; Ерошка с удовольствием потянул в себя промозглую струю воздуха, прохваченную запахом грязи, дегтя, гнилой кожи, мокрого платья, перегорелого лука и сивушного масла. Несколько расшатанных стульев и некрашеный деревянный стол составляли всю меблировку этой привилегированной половины.

— А вот и наши здесь! — проговорил в две-

рях плечистый, приземистый мужик в поддевке; рыжая борода и прищуренный косой глаз придавали ему подозрительный вид. — Ну и погодка!.. Месил, месил грязь, хоть бы одна шельма попалась. Есть до смерти хочется, братцы...

— У нас табаку нет, а он: есть! — презрительно ответил Башка, шагая по комнате неровными шагами. — Хохлика не видал?

— Как не видал: у Хохлика тоже ненастье...

— Вот что, Труба, как бы нам того... не пропадать же в самом деле? — заговорил Ерошка заискивающим голосом. — Сходи, братику, к Каину, авось расступится... а? Ты объясни ему... а?

Труба почесал в затылке, еще сильнее прищурил свой косой глаз и отрицательно покачал головой. Наступила тяжелая пауза, которой не нарушило даже появление Хохлика. Это был еще совсем молодой человек с зеленовато-серым лицом и глубоко ввалившимися глазами, горевшими лихорадочным, чахоточным блеском. Он молча сел в уголок, поджал под себя ноги и долго не мог отдышаться после скорой ходьбы. На всех напала минута

тяжелого уныния, как у людей, заблудившихся в лесу. В таких исключительно критических случаях обыкновенно выручал Башка, отличавшийся дьявольской изобретательностью, но сегодня и он повесил нос, точно пришибленный. А из кабака доносилась настоящая мелодия довольного кряканья после выпивки, звона стаканчиков и того кабацкого галденья, какое бывает только около стойки.

— Эк их взяло, подлецов! — глухо пробасил Башка, натягивая на свою голову заношенную, как блин, кожаную фуражку. — Ну, братцы, я схожу... подождите, может, и выгорит что.

Когда высокая фигура Башки скрылась в дверях, все как-то разом оживились и заговорили: «Уж Башка одно слово... Выручит! Да он из земли добудет, особенно ежели с похмелья ломает когда. Золотая голова!» Даже Ванька Каин почувствовал угрызение своей каиновой совести, когда мимо его стойки Башка прошагал с самым мрачным видом.

«По погодью-то надо бы стаканчик было подать, — думал Ванька Каин, проворно орудуя за своим прилавком. — Ну, да больно за-

знаваться стал, пусть не фордыбачит».

В душе Ваньки Каина шевельнулась обидная мысль, что Башка третьего дня облаял Акулину, его любовницу, которая жила с ним в каморке. И всего-то дела было, что Акулина попросила Башку наставить самоварчик, так куды тебе — сейчас на дыбы, мы-ста образованные люди и всякое прочее, а вот теперь, образованный человек, ступай-ка, помеси грязь-то... Это даже совсем преотлично для тех, кто настоящего понятия не хочет иметь и добра не помнит.

II

Отчаянное положение выдавило в голове Башки мысль, которую он теперь нес из «Плевны» на самый конец города. Собственно, это было последнее средство, на какое он решался только в самых критических обстоятельствах.

— Э, черт с ними! — ругался Башка, шагая через грязь.

А погода делалась все отвратительнее. Холод крепчал. Откуда-то налетал порывами пронизывавший насквозь ветер, который просто жег голые руки и спину. Хлопья мок-

рого снега сменились сухой снежной пылью, тихо кружившейся в воздухе отдельными пушистыми снежинками в форме правильных звездочек, игл и разных замысловатых геометрических фигур. Недавно сплошная полоса грязи, заливавшая пропадинские улицы, теперь приняла самый обманчивый вид, и Башка постоянно ошибался, стараясь пробраться поблагополучнее. В одном месте он совсем оставил свои опорки в грязи и долго не знал, что делать с ними. Грязь еще сохраняла в себе известную теплоту, сравнительно с верхним снеговым налетом, который резал ноги, как ножом. После короткого раздумья Башка всунул ноги в полные грязи опорки и зашагал по деревянному тротуару. От «Плевны» ему было нужно перекосить соборную площадь, потом обогнуть старый гостиный двор, а там свернуть в узкую Проломную улицу, где тонули в грязи постоялые дворы. Сделав с полверсты по этой убийственной дороге, Башка почувствовал непреодолимое желание вернутвся под гостеприимный кров «Плевны», — обычная энергия изменила даже его железной натуре. Это был настоящий при-

падок малодушия, но Башка устоял против искушения и только быстрее зашагал вперед.

Скрестивши по-наполеоновски руки на груди, чтобы сохранить терявшуюся теплоту, и подняв плечи, чтобы защитить голую шею от попадавшего за воротник снега, Башка летел вперед, как хороший волк. В конце Проломной стоял кабачок Зобуна, в который Башка иногда заходил, но теперь было не до него — до цели оставалось всего с полверсты. Купеческие каменные дома в Пропадинске были только в центре, затем во все стороны расходились деревянные постройки, а на окраинах тянулись самые жалкие лачуги, слепленные кое-как из разной дряни, как ласточкины гнезда. За Проломной, на самой окраине, как исключение, стоял большой каменный дом гуртовщика Ломотина; сюда и держал свой путь Башка. Разбогатевший мужик Ломотин недавно умер, и сегодня шел девятый день, следовательно, должна была быть богатая подачка нищей братии. Башка не без основания рассчитывал кое-что получить здесь, хотя к такому нищенству прибегал только в самом безвыходном положение

как сегодня.

Около ломотинского дома уже собралась порядочная кучка нищих. Когда Башка подходил к ней, в воротах появился мордастый дворник; он загородил калитку жердью и начал пропускать под нее во двор по одному человеку. Нищая братия одним сплошным шевелившимся комом лохмотьев наперла на калитку и брала приступом каждый вершок. Слышалась хриплая ругань, бабий визг и тяжелые вздохи. Башка остановился позади всех и терпеливо ждал своей очереди пролезть под жердью, перегораживавшей калитку; он чувствовал особенное отвращение к этой грязной сволочи, потерявшей всякий образ и подобие божне, потому что и в самом падении своем чувствовал себя неизмеримо выше этого человеческого хлама. Некоторых он знал. Вот, например, этот седой сгорбленный старичок, который особенно назойливо пробивался вперед; он когда-то служил в земском суде, занимал видное место и во время своей славы раскуривал трубку кредитками, но спился с круга и теперь жил подаянием. За ним держался смуглый бритый мужчина;

этот славился как прежний богач, умевший промотать доставшееся ему наследство в пятьдесят тысяч. Далее следовал ряд совершенно темных личностей, собравшихся пода бог знает из каких трущоб; особенно были подозрительны женщины-побирушки, с обрюзгшими, измятыми лицами и злыми глазами. Это всё были специально нищие, промышлявшие сбором подаяния по домам, на рынке, по церковным папертям и шмыгавшие по всем поминкам в богатых купеческих и чиновничьих домах. Для них лохмотья и заплаты служили средством существования как вывески какого-нибудь цехового мастера; где кончались лохмотья и где начинался человек, трудно было разобрать; люди здесь превращались в живые лохмотья, заплаты и прорехи.

Башке пришлось прождать битый час в этой толпе, и он совершенно окоченел, напрасно стараясь согреться переминанием с ноги на ногу. Живая теплота живого тела оставила его; у Башки начинали стучать зубы, и он почувствовал особенную ненависть к жирному и брыластому дворнику, который

нарочно медлил, пропуская очередных, и несколько раз начинал переругиваться с нищими жиденьким тенорком.

— Отпячивай назад, пехота! — кричал дворник, защищая вход своим толстым брюхом в белом фартуке. — Я вот скажу Анфисе Парфеновне, так она вас всех метлой отселева...

— А ты не больно шеперься, не велик в перьях-то! — огрызалась какая-то шустрая старушонка с птичьим лицом. — Не к тебе пришли...

— Разговаривай! — лениво протянул дворник. — Вон она, Аифиса-то Парфеновна, сама на крыльце-то стоит.

Наконец наступила и очередь Башки. Он уже держался одной рукой за палку, ожидая своей очереди и стараясь не глядеть на дворника, который его просто возмущал всей своей фигурой, как голодного волка возмущает сытая собака. Вместе с тем Башка испытывал тяжелое чувство унижения и еще больше сердился на ни в чем не повинного дворника, которого с удовольствием перекусил бы пополам. От нечего делать он рассматривал внут-

ренность богатого двора, усыпанного желтым песочком, с крепкими службами назади, с цепной собакой у амбара, с привязанной у столба великолепной лошадью, заложенной в лакированный экипаж; налево был подъезд с стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна в лисьей шубе и степенно давала каждому его пай милостыни, лениво повторяя одну и ту же фразу: «Помолись, миленький, за раба божия Симеона и сродников». Около купчихи толклись какие-то две старушонки в темных платочках с глазками.

— Пролезай! — крикнул дворник на зазевавшегося Башку.

Башка согнулся, чтобы пролезть под жердью, но в этот момент мимо него головой вперед рванулась какая-то бабенка с подбитым глазом и чуть было не предупредила его, но Башка вовремя схватил ее за шиворот и отбросил назад, как тряпицу.

— Куда, Фигура, прешь? — ворчал он, уже шагая к крыльцу.

Получив подаяние и крепко сжав деньги в кулаке, Башка зашагал в другой конец двора,

куда выпроваживал нищую братию высокий кучер в кожаном кафтане. Чтобы не было напрасной давки, нищих выпускали из двора другими воротами. Очутившись на улице, Башка сосчитал полученные деньги; на его долю достался целый полтинник, и это обстоятельство разом вознаградило его за все лишения.

Через полчаса Башка уже входил в кабак Зобуна, где толпились нищие, успевшие «выправить» подаяние раньше его. Размякший, ожирелый сиделец с зобом на шее орудовал не хуже Ваньки Каина и, наливая стаканчики, приговаривал:

— Помяни раба божия Симеона и сродников... Больно добра для вас Анфиса-то Парфеновна, гли-ко, по полтине на рыло сошлось. А! и ты, Башка, здесь?

— Ну, ну, не разговаривай... совсем околел!

Башка залпом выпил два стаканчика, чтобы сразу согреться, но водка на него не действовала сегодня, и он потребовал себе третий. Когда Башка уже подносил дрожавшей рукой стакан ко рту, около него появилась давешняя бабенка с подбитым глазом и нахаль-

но толкнула его локтем в бок.

— Ты опять, Фигура? — зарычал взбешенный Башка и даже замахнулся на надоедливую бабенку поднятой рукой. — Раздавлю, как муху...

— Ух, какой страшный! — кокетливо взвизгнула Фигура и нахально захихикала прямо в лицо Башке. — Этакое верзило и с бабами драться... Ну, тронь, только тронь!..

Отпустив несколько отборнейших выражений на специальном кабацком жаргоне, Фигура с наслаждением выпила стаканчик зеленого бальзама, вытерла губы подолом грязного платья и опять засмеялась своим нахальным смехом.

— Што, Башка, наткнулся на ерша? — спрашивал Зобун, кисло улыбаясь. — Уж она октрыса, одно слово, как бритвой бреет...

Башка презрительно взглянул на Фигуру еще раз и отвернулся. Он вообще ненавидел всех женщин, как другие не выносят мышей или тараканов, а теперь еще должен был переживать чувство оскорбленного достоинства, что связался с бабой.

Именно этот почти невольный жест физи-

ческого отвращения задел за живое Фигуру, которая в дни крайнего падения не могла расстаться с логикой хорошенькой женщины, привыкшей требовать общего внимания. Взглянув теперь на Фигуру, никто бы не поверил, что это отекшее лицо с воспаленными и слезившимися глазами, с распухшим носом и блестевшими синеватыми губами могло быть когда-нибудь красиво, хотя это было так. Костюм Фигуры был самого подозрительного свойства — какая-то рыжая кофточка, сбившаяся на один бок, ситцевые юбки, обносок шали на голове и стоптанные ботинки на ногах. Выпив два стакана бальзама, Фигура села на лавку, рядом с Башкой, и далеко вытянула свои грязные ноги, так что из-под юбки выставились совсем голые щиколотки и нижняя часть белых полных икр.

— Будь ты проклята, анафема! — выругался Башка, вскочив с лавки. — Чего ты лезешь?

— Будет лаяться-то, невежа! — совсем другим тоном, спокойно и самоуверенно проговорила Фигура, взяла Башку за локоть и посадила рядом с собой. — Ну, чего ты бесишься? Лучше покурим; у меня табак есть...

Башка сердито плюнул на сторону, но от табаку не отказался. Он испытывал теперь совершенно особенное чувство, именно, он точно был давно знаком с этой нахальной бабой и даже был доволен, что она его удержала на месте. Про себя Башка несколько раз обругал соседку самыми непечатными словами и хотел сейчас же отправиться в «Плевну» к ожидавшим его товарищам, но вместо этого язык Башки как-то против его воли проговорил:

— Хочешь еще бальзаму, Фигура Ивановна?

— Только вместе с тобой...

Дальше все происходило в каком-то тумане: стаканчики следовали за стаканчиками, Башке сделалось тепло и весело; он хохотал и пел с своей новой знакомой, как сумасшедший. Потом они вместе пошли от Зобуна по Проломной улице, и Башка даже помогал своей спутнице переходить через грязь, как настоящий кавалер.

— Пойдем к Ваньке Каину; там у нас настоящее гнездо, — объяснял Башка, сильно пошатываясь. — Все отличные ребята... Ерошку не знаешь? и Хохлика? и Трубу?.. Ну, после

этого ты ровно ничего не знаешь...

Башка дергал на ходу плечами, сжимал кулаки и совсем не чувствовал холода, который леденил его тело.

— Нужно еще денег достать, — говорила Фигура. — Пойдем, я знаю где... Еще есть в двух домах поминки.

III

На привилегированной половине «Плевны» целый день прошел в самом нехорошем настроении духа; это решительно был прескверней ший день. Сначала все поджидали возвращения Башки и рассказывали анекдоты о его пообыкновенней находчивости; потом начали ворчать и ругаться, зачем Башка так долго не идет на выручку, и наконец все тяжело замолчали, как люди, потерявшие последнюю надежду. Даже Ванька Каин, и тот сжалился над ними и выслал целое решето черного хлеба и луку. Это было уже совсем под вечер.

— Должно быть, Башку пьяного в полицию где-нибудь забрали, — повторял несколько раз Корнилыч. — Зашел погреться куда-нибудь, выпил, ну, и разомлел с холоду-то... Это

бывает!

Точно в ответ на это предположение в дверях «Плевны» появился сам Башка, сильно пьяный; гнев всего общества был готов обрушиться на его голову, но его проявление было парализовано появлением Фигуры, которую привел с собой Башка.

— Господа, рекомендую... вот женщина... Фигура Ивановна, — бормотал Башка заплетавшимся языком.

Все общество встретило эту рекомендацию гробовым молчанием и сделало такой вид, что совсем не замечает присутствия «женщины». В дверях выглядывала улыбавшаяся рожа Ваньки Каина, а из-за его плеча сумрачно смотрела Акулина, высокая костлявая баба, с широким деревянным лицом, походившим на лопату.

— Вот так уколол Башка штуку... ловко! — хрипел Ванька Каин, любуясь происходившей пред его глазами сценой.

— Да вы что молчите-то, оглашенные? — заговорила Фигура, обращаясь к публике вообще. — Подавились чем или мух ловите здесь?

Общество оставалось глухо и немо; все были сконфужены и за себя и в особенности за сбесившегося Башку, который нарочно теперь бодрился перед своими друзьями, как все виноватые люди. Он с напускной развязностью потребовал у Ваньки Каина водки и сел вместе с Фигурой за отдельный столик, точно вызывая все общество на бой. Собственно говоря, собравшиеся в этой комнате потерянные люди отличались большой тонкостью чувств и той особенной психической чуткостью, когда слова являются излишними для взаимного понимания. Все они отлично понимали друг друга по одному взгляду, по малейшему жесту. Молчаливый протест друзей для Башки был в тысячу раз тяжелее открытого восстания, ругани и даже рукопашной. Даже нахальная без границ Фигура, и та, видимо, не ожидала такой встречи и теперь только улыбалась пьяной и нахальной улыбкой.

— Пожалуйте, Фигура Ивановна, — угощал Башка свою гостью, стараясь быть любезным назло всем.

— А как тебя зовут? Я еще не знаю, — спра-

шивала Фигура, делая вид, что ничего не понимает.

— Меня здесь зовут Башкой...

— Очень хорошее имя: Башка... да! Из семинаристов? Да, да... Я встречала много семинаристов... Славный народ и пьют отлично.

Фигура стыдливо обдернула сбившуюся набок юбку, спрятала грязные ноги и несколько времени упорно старалась принять серьезный вид приличной дамы, но ее опухшее лицо само собой расплывалось в отвратительную улыбку, которая просто коробила Башку, точно его поджигали каленым железом. Но он хотел выдержать характер. Труба, Корнилыч и Хохлик сбились в углу в одну кучку, как последние римляне и как люди, хорошо посвященные в тайны светских приличий; они вели вполголоса совершенно посторонний разговор, как это делают хорошие друзья, когда в доме покойник или другое какое несчастье.

Это критическое положение сторон разрешилось совершенно неожиданной развязкой. За стойкой у Ваньки Канна произошла довольно горячая сцена с Акулиной, которая

сначала шипела, а потом принялась голосить и ругаться на весь кабак.

— Хотя я тебе не жена, а все-таки у тебя ума нисколь нет! — кричала Акулина, размахивая длинными руками. — Разве это порядок, штобы пущать в заведение всякую дрянь? Да она, шлюха этакая, еще стащит што-нибудь. Разве углядишь за ей, паскудой?.. И што это я за каторжная далась тут вам, штобы напускать всяких потаскушек!

— Затвори хайло-то, хайло затвори, ворона! — огрызался Ванька Каин, хотя это делалось только для порядку, чтобы показать перед публикой свою хозяйскую власть. — Вот я возьму как обихаживать самое-то, только стружки полетят.

— Ну, бей, бей! А я не соглашусь, штобы всякая потаскушка распоряжалась в заведении! — голосила Акулина неистовым голосом, точно ее резали. — Хотя я не в законе с тобой, а в дому порядок должен быть... Да я ей, твари, все зенки выцарапаю, вот што! Разве у нас такое заведение, штобы манеры-то эти разводить?.. Я и Башке всю рожу исцарапаю.

Положение Башки крайне усложнилось. Ополоумевшая Акулина имела за себя все преимущества как перед мужем, так и перед завсегдатаями, которые, конечно, держали ее сторону. В пьяной голове Башки шевелилась уже мысль о неизбежности рукопашного решения спорного вопроса, и он под столом сжимал свои страшные кулаки, вызывающе поглядывая на недавних приятелей.

— Вот что, Башка, пойдем отсюда, — предложила ему Фигура, поднимаясь с места. — У меня еще дело есть... Медальон ждет.

— Какой Медальон?

— Увидишь.

За водку деньги были заплачены вперед, и парочка торжественно направилась к выходу. Когда Фигура была уже у дверей, Акулина выбежала из-за стойки, догнала ее и толкнула своей деревянной рукой в шею.

— Акулька, язва, отвяжись! — кричал Ванька Каин.

Башка зарычал, как медведь, по которому выстрелили, но Фигура успела его вытолкнуть в сени и энергично потащила за руку вперед.

— Стоит связываться с дурой! — успокаивала она своего спутника, шлепая по грязи. — Тут недалеко, живо дойдем. Дай руку, вот так, как барыни ходят...

Фигура хрипло засмеялась в темноте, в Башка молча зашагал рядом с ней. Кругом было совершенно темно, хоть глаз выколи, и только слабо мигали жалкие фонари по углам улиц. Снег остановился, но холод был попрежнему страшный и пробирал до костей. Где-то завывала бездомная собачонка, слышалось хлопанье оторвавшегося с крыши железного листа; какой-то забулдыга брел через соборную площадь и все старался затянуть песню, походившую на мычанье. Медленно проехал извозчик, позвонил в чугунную доску ночной сторож, а впереди и назади — кромешная тьма. Парочка брела на ощупь и через двадцать минут была уже в узком и глухом переулке.

— Здесь, — проговорила Фигура и остановилась у какой-то деревянной развалины.

Они вошли во двор, потом в какой-то сырой и холодный подвал, походивший на могилу. Фигура чиркнула спичкой и отыскала

сальный огарок, вставленный в бутылку из-под сельтерской воды. При слабом свете Башка мог рассмотреть весь подвал, служивший когда-то кухней. Маленькие окошечки с железными решетками, как в каземате, выходили на улицу; ободранная дверь болталась на одной петле; около одной стены на груде, тряпья спал какой-то человек с бледным, худым лицом:

— Медальон, вставай... Я гостя привела!.. — кричала Фигура, расталкивая спавшего. — Да ну же, вставай!.. Это наконец невежливо так принимать гостей. Посмотри, какого я зверя привела...

— Ах, это ты, Милочка? — проговорил Медальон, поднимаясь со своего неприхотливого ложа. — Какого зверя?.. Милочка, как у меня страшно голова болит, мне всего одну бы... а?

— Видишь, какой ты лакомка. Медальон: «одну бы», а где я тебе ее возьму? Ну, ну, не плачь, я сейчас... Я и закуски принесла, а пока позволь представить тебе нашего гостя: monsieur Башка.

Медальон был еще совсем молодой чело-

век, лет двадцати трех, белокурый, жиденький, с длинной шеей и голубыми детскими глазами; костлявые плечи, ввалившаяся грудь и бескровное лицо придавали ему вид какого-то подвижника. «Эх, какая дохлятина! — с презрением подумал Башка, разглядывая Медальона. — Настоящая глиста». Фигура в это время успела достать откуда-то бутылку водки и кусок вареной печенки, что составляло уже целый ужин на троих.

— Странно, право: нас сегодня выгнали из кабака, — рассуждала Фигура, разрезывая печенку обломком перочинного ножа. — Нашли меня неприличной... Ужели я настолько не умею себя держать, что не могу быть приличной для кабака? Фи... Какая гадость! Боже мой, боже мой, до чего может дойти человек! Я, собственно, и обиделась только сейчас, то есть не обиделась даже, а так... гадко стало для самой себя...

Медальон, выпив две рюмки, несколько пришел в себя и с аппетитом принялся есть печенку. Проглотив последний кусок, он проговорил с комическим пафосом:

— Sic transit gloria mundi![191]

— Domine[192], ты знаешь по-латыни? — обрадовался Башка, протягивая руку.

— Да, немножко...

— Медальон кончил гимназию с золотой медалью, — объяснила Фигура не без удовольствия, — а таких там называют «медальонами».

— Ага! — проговорил Башка. — У нас в семинариях первых учеников звали «башками», я и имел несчастие быть таким первым учеником; значит, мы с вами одного поля ягоды...

Они молча пожали друг другу руки и засмеялись. Знакомство завязалось быстро, и за рюмкой водки новые друзья рассказали о себе всю подноготную. Медальону пришлось немного рассказывать о себе: сын богатых, но разорившихся родителей, блестящим образом кончивший гимназию, он быстро свихнулся, когда пришлось зарабатывать свой хлеб, и теперь ждет какого-то места, обещанного ему каким-то очень хорошим человеком.

— Только бы получить место, а потом я брошу эту проклятую водку и заживем с Милочкой припеваючи, — закончил свою по-

весть Медальон. — Так ведь, Милочка?

— Конечно, конечно... да, припеваючи, — машинально повторила Фигура, опуская голову.

— А знаете, что нас всех сгубило? — задумчиво говорил Башка. — Самолюбие... Да!.. Вся система нашего воспитания построена именно на самолюбии, которое в нас развивали с детства. По себе знаю... Это общая судьба всех первых учеников... Поврежденный народ выходит... Видите ли, для таких людей должна быть жизнь на особых условиях, а не прозябание обыкновенных смертных. А когда тебя станут по носу щелкать на каждом шагу, тут и погибель: характера-то не хватает, а самолюбие давит... ну, и утешаемся по-своему... Так ведь?

— Верно, — согласился Медальон.

— Много нас таких-то, — продолжал Башка, не обращаясь, собственно, ни к кому. — Ну, и, конечно, обвинять кого-нибудь и что-нибудь в своем падении по меньшей мере глупо, все равно, что обвинять машину, которая одному раздробила руку, а другого совсем искрошила... Все, что существует, существует

разумно и, ergo[193], имеет право на существование. Факт стоит выше всяких законов... да. Если я говорю: «нас погубила система», то это только принятая форма выражения, приспособленная для понимания большинства. Так сказать, это только личная форма... Можно только понимать факты, а сердиться и радоваться по поводу их — это уже детство мысли. Одна есть истинная точка зрения на вещи и факты, это — отвлеченная философская мысль.

— Ух, какая ученость! — со вздохом проговорила Фигура, чувствуя, как у нее слипаются глаза.

Через пять минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, где сидела. Ей грезилась плохонькая сцена провинциального театра, плохонькая музыка, плохонькая провинциальная публика, плохонькое освещение, а она выпархивает в коротких юбках и трико прямо к рампе и начинает петь забористую шансонетку. Публика аплодирует и любуется ее ногами, которые действительно замечательно хороши своей упругой полнотой и классическими линиями. Ей подносят боль-

шой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы.

IV

Теперь нам необходимо сказать несколько слов о «Пловце» и ее завсегдатаях.

В Пропадинске было много кабаков, и каждый из них имел свою собственную физиономию. Так, кабак Зобуна в Проломной улице славился как притон конокрадов и лесоворов; кабак «Ямка», около гостиного двора, служил сборным местом нищих; были кабаки самой подозрительной репутации, как пристанище жуликов и мазуриков и т. п. «Плевна» резко отличалась от всех, потому что в ней завсегдатаями были особенные люди, промышлявшие разными художествами: в «Плевне» составлялись прошения мужикам, там всегда можно было найти для нотариуса грамотного свидетеля с паспортом, там же процветала игра в стуколку, три листа и в трынку, там же можно было послушать музыку и даже пение, покутить в хорошей компании и т. д. Главное, в «Плевне» никогда не позволялось буйство и мазурничество, за чем Ванька Каин следил в

оба; полиция была поэтому особенно довольна «Плевной» и редко осчастливливала ее своими посещениями.

Такие особенности «Плевны» создались отчасти благодаря ее выгодному центральному положению, а главным образом — благодаря сметке и административной прозорливости Ваньки Каина. До него из сидельцев в «Плевне» славился кривой старик Ермило, но после Ермилы наступил смутный период междуцарствия: переменился целый ряд сидельцев, и звезда «Плевны» начала быстро клониться к закату, если бы не выручил Ванька Каин, явившийся в самый критический момент и сумевший сразу поставить свое «заведение» прямо на точку, чем он особенно гордился. Его предшественники или не умели обращаться с публикой, или не могли выдержать характера, или просто прогорали от плохих расчетов. Кабацкое дело кажется со стороны таким простым, но оно далеко не просто, и только посвященные знают, сколько нужно уменья, характера и чисто дипломатической изворотливости, чтобы удержаться на таком видном посту, как «Плевна». Конечно, запу-

танная кабацкая бухгалтерия стояла на первом плане, потом разные отношения к полиции и акцизным чиновникам, но всего важнее было организовать правильные отношения к разношерстной кабацкой публике, вернее сказать, создать такую публику.

— Прежде всего, мы народ очень самолюбивый, — объяснял Башка, когда Ванька Каин забрал в свои цепкие руки бразды правления. — Да... А потом нужно помнить, что мы совсем потерянный народ только для вас, а для себя мы потерянные только временно. Самый последний пьянчужка глубоко убежден, что он пьянствует только пока, а потом бросит водку и заживет еще лучше других.

— Уж это обнакновенно; кажный последнюю рюмочку у вас пьет, — прибавлял глубокомысленно Ванька Каин от себя. — И мы тоже не без понятия...

— Отлично... Потом заруби себе на носу, что деньги наживают не с богатых, а с бедных, вот с таких проходимцев, как мы, в особенности. Я тебе объясню, почему... Во-первых, богатых людей очень немного, второе, богатый всегда и все купит вовремя и поде-

шевле, — так? — ну, а беднота платит втридорога вашему брату, и из грошиков-то да из пятачков, глядишь, у ловкого человека капитал вырос... Так?.. И мотай себе это на ус... Если бы ты знал математику, так я тебе доказал бы, как дважды два, что значат так называемые несоизмеримо малые величины. Горы из них растут, из этих несоизмеримо малых величин... Да. Так и в вашем деле.

— Уж известно, надо и нам свою линию выводить... А только я вот чего никак не пойму: так это вы складно умеете говорить, как по-писаному, и так все верно у вас выходит, а только вот с собой-то не можете ничего сделать... Даже, ей-богу, жаль глядеть в другой раз со стороны!.. При этаком-то уме да при вашей грамоте какую бы линию можно было вывести... то есть только ах, боже мой!

— Ну, это уж не твоего ума дело, Иван Василич.

Башка сделался для Ваньки Каина правой рукой во всех важных кабацких делах и вместе с тем постоянной статьей дохода. Говоря вообще, именно Башка задавал тон всей «Плевне», где он являлся вполне авторитет-

ный лицом. Специальностью Башки служило ходатайство по делам, причем он иногда зарабатывал порядочные деньги, одевался заново и потом все спускал до последней нитки. Знакомых у Башки в мелком купечестве, в духовном звании было несметное число, и он умел эксплуатировать всю эту братию с замечательной изворотливостью. В «Плевне» было составлено и написано Башкой множество прошений, которыми он одолевал суды всех инстанций; он же являлся свидетелем в двух нотариальных конторах, как человек «лично известный» г. нотариусам. На худой конец Башка зарабатывал в день рубль или полтора, хотя в его тревожной жизни случались нередко совсем глухие моменты, особенно после жестокого перепоя, когда он сидел без гроша по неделям. Такие несчастия обыкновенно случались с ним сейчас после больших получений: получит Башка деньги и пойдет чертить, а потом и зубы на полку, так что даже к нотариусу не в чем явиться. Обыкновенно из такого отчаянного положения Башку выручал Ванька Каин, делавший ему при этом приличную нотацию. В глубине души

Ванька Каин благоговел пред талантами Башки, хотя иногда и любил его поприжать своей каиновой лапой.

Около Башки группировались уже остальные завсегдатаи «Плевны».

Корнилыч, промотавшийся купеческий сынок, был великим артистом по части бильярдной игры; он дневал и ночевал по трактирам, выжидая подходящего случая нагреть руки около загулявшего купчика или чиновника. Всю выручку он нес в «Плевну», где сейчас же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства сезона и т. д., пока не улетучивалась у Корнилыча последняя копейка. Этот человек остался неисправимым мотом; сорить деньги было у Корнилыча в крови, и он многолетней практикой до совершенства постиг великое искусство шикнуть и показать товар лицом. Пил Корнилыч совсем мало и перебивался в «Плевне» около хороших людей вроде Башки.

Труба, сбившийся с панталыку мужик, промышлял около приезжавших в город крестьян, с которыми умел заводить знакомство с необыкновенной быстротой; он в одном

кармане носил колоду карт, а в другом свой величайший секрет — «гривенку». Захмелевших мужиков Труба умел затянуть в известную кабацкую игру «три туза» или начинал метать орлянку, причем на сцену выступала заветная гривенка. Эта гривенка была устроена особенным образом. Труба взял две старых николаевских гривны и у одной сточил «решетку», а у другой «орел», так что сложенные вместе они составляли одну гривну; в «решетке» Труба искусно высверлил несколько желобков и в них налил ртути, а потом спаял обе гривны в одну. Такая монета, брошенная вверх, всегда ложится решеткой вниз, так что Труба никогда не рисковал проиграться, хотя заветную гривенку приходилось пускать в оборот очень осторожно. Труба редко играл в «Плевне», а большею частью на стороне, где его не знали, и с выигрышными деньгами непременно являлся к Ваньке Каину и пил тяжелым мужицким запоем.

Кто такой был Хохлик, по всей вероятности, он и сам того не знал. В «Плевне» он являлся безответным, чрезвычайно скромным существом; его можно было послать куда

угодно, и он, кажется, никогда не мог возразить что-нибудь. Чем он существовал — тоже являлось неразрешимой загадкой. Его друзья знали только то, что Хохлик умеет играть на гитаре и на пробках; последнее искусство стоило ему самого каторжного труда, и он овладел им настолько, что, взявши в зубы две пробки, разыгрывал даже опереточные арии. Корнилыч и Труба часто пользовались услугами безответного товарища, когда им нужно было подставное лицо, а Башка гонял Хохлика с прошениями по всему городу. Вообще Хохлик отличался полным отсутствием воли и был счастлив, когда делал что-нибудь для других по их приказанию.

— И какой ты, право, Христос с тобой! — говорила ему в припадке сердечного расслабления сожительница Ваньки Каина. — Ты бы смелее, ей-богу... Учись у Башки-то али у других тоже... Право, какой ты!..

— Где уж нам, Акулина Митревна... Мы уж так-с... помаленьку-с, — смущенно отвечал Хохлик, обдергивая рукава своего пальто.

— Ежели бы ты блаженный был... придуривал там, а то ведь... Уродится же этакой че-

ловек, подумаешь! А?

Кроме этих завсегдатаев, «Плевну» периодически посещало множество других особенных людей, которые временем сильно зашибали водкой. Посещение такого гостя было настоящим праздником для завсегдатаев. Гость пропивался до нитки и потом удалялся восвояси. В этом разряде были чиновники, купцы и люди неопределенных профессий; за ними обыкновенно являлись родственники, которые страшно ругались с Ванькой Каином и обещались жаловаться начальству.

— Что же-с? Я их не неволю-с, — любезно отвечал Ванька Каин, взмахивая растрепанными волосами. — А что до начальства касательно, так у меня есть пакент... сделайте ваше одолжение.

Ванька Каин был великий тактик и в совершенстве обладал величайшим сокровищем, которое называется «чувством моры»; людей он видел насквозь и со всяким умел обойтись по-своему. Тонкость понимания была в нем развита замечательно и еще скрашена известным запасом чисто русского добродушия. Конечно, по-своему Ванька Каин был

прожженный плут и мошенник, но только для других, а не у себя дома, где он являлся почти отцом семейства. Бездомные бродяги и скитальцы вели у него все хозяйство, ходили за лошадью, и даже сам Башка полол в огороде гряды. Завсегдатаи любили Ваньку Канна именно за его понимание, то есть за то, что он один относился к ним, как к людям.

— Да ты думаешь, Иван Васильевич, я пошел бы куда-нибудь в кабак?.. а? — допрашивал пьяненький Корнилыч. — Не-ет, брат, я тоже себе цену знаю... А к тебе вот иду, потому что уважаю. Да!.. Как к отцу родному иду, во как... Уж это ты будь без сомнения, по всей форме.

Отметим здесь ту особенность, что в этой среде кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых строгих приличий, преступать которые никто не мог, и, может быть, нигде в другом месте так жестоко не преследовалось отступление от этих приличий, как здесь. Между прочим, строго было запрещено приводить в «Плевну» женщин или, выражаясь кабацким жаргоном, баб, что и выполнялось до сих пор неукоснительно. Причин та-

кого драконовского закона было много, начиная с того, что Башка не выносил баб вообще и в частности, и кончая тем, что Акулина Митревна строго блюла патриархальность нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам. Ванька Каин держал нейтралитет, потому что находился в некотором подчинении у своей сожительницы, особенно когда сам зашибал своим товаром.

Теперь нам понятно то чувство негодования, которое было вызвано неожиданным появлением в «Плевне» Фигуры. Когда дверь кабака захлопнулась за ней, сейчас же последовал настоящий взрыв одобрения, адресованного к расхрабрившейся Акулине Митревне.

— Молодца у нас Акулина Митревна, — галдели завсегдатаи, точно праздновали настоящую победу. — Ловко она отчехвостила эту шлюху... А Башка после этого будет хуже Мазепы.

— Настоящий Гришка Отрепьев.

Общественное мнение «Плевны» было возмущено до глубины души и вынесло Башке

обвинительный вердикт без всяких смягчающих вину обстоятельств, и только один Ванька Каин испытывал некоторое угрызение совести, что не предложил Башке вовремя стаканчика и тем довел его до окончательного падения. Впрочем, он вслух никому не высказывал своих мыслей, тем более что его вина носила слишком косвенный характер.

«Сбесился, пес, — раздумывал Каин, орудуя за стойкой. — Этакое колено уколол!.. а? Бабу приволок, да еще какую-то такую, что... тьфу! Этакие пропастины, подумаешь, на белом свете водятся...»

На другой день после этого события «Плевна» уже имела самые подробные биографические сведения относительно прошлого и настоящего Фигуры. Это поусердствовал Корнилыч, имевший большие трактирные связи, а в трактирах Фигуру отлично знали.

— Перво-наперво она у родителев жила, — повествовал Корнилыч, глубокомысленно посасывая дешевенькую сигарку. — Из дворян еще будет... Ну, воспитание получила самое нежное, да потом и пошла щеголять. В театре актрисой была, потом арфисткой, потом по

трактирам... щеголяла-щеголяла, да вот и дощеголяла до своего настоящего виду. Зобун рассказывал, как она Башку-то подцепила... Нехорошо даже рассказывать. И такая, сказывает, пройдоха, что не приведи Христос. Шлёнда, одним словом...

— Удавить бы ее, проклятущую! — предложил кто-то.

Однако такие разговоры никого не могли утешить: отсутствие Башки чувствовалось во всем: точно из машины вынули главное колесо. И, как назло, народ так и пер в «Плевну» с прошениями, а Башка и глаз не показывал.

— Сказывают, утонул он, — отвечал Ванька Каин на расспросы просителей и мрачно улыбался.

V

Через неделю Башка неожиданно появился в «Плевне», он привел с собой Медальона и занял свое обычное место, как ни в чем не бывало. Понятно, что завсегдатаи встретили его очень подозрительно, но Башка с обычной хитростью притворился, что ничего не замечает, и держал себя так, точно ничего особенного не случилось.

— Экие бесстыжие глаза! — изумлялась Акулина Митревна. — И беспременно у него што-нибудь есть на уме... уж не таковский человек, штобы спроста! И одежонкой раздобылся, пес...

Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.

— А мы уж тебя утонувшим записали, — ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину. — Много тут спрашивали... Я еще пожалел, потому как и цвете лет и, можно сказать, без покаяния...

— Будет тебе огороды-то городить, — обрезал Башка. — Я вот тебе хорошего человека привел.

— Что же? Мы хорошим людям завсегда рады... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили; а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером,

когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что лют бобы-то разводить, и тот только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.

— Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики, — философствовал Башка. — Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление... Даже можно сказать, мы правильнее смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского миросозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.

— Совершенно верно! — соглашался Меда-

льон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы. — Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно теми из них, которые срослись с домашним обиходом... Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.

— Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним, — смеялся Башка, встряхивая своей гривой. — Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крепко недолюбливаю ваше сухарное гимназическое образование... Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет... этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то... Ха-ха!.. Жизнь, братику, это мудреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия... «Ввергохом злато в огонь, и излияся телец». Ха-ха!.. Это уж постоянно. «Злато» — это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уже в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубахе по грязи... холодище

смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония... Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь... Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп... из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.

Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле, болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по

городским улицам, как оглашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.

— Экая у тебя жидкокостная и гнилая натуришка! — негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился. — Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи сшит.

Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегдатаями в задней каморке «Плевны» или по разным ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.

— Это он к той шляется, — соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами. — А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.

Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, до-

бываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по своему, по-бурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка хочет приколотить больную. Но это не мешало ему просиживать над ней целые ночи, бесконечные осенние ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к больной доктора, ему одному известными способами добывал лекарства, Башка приносил откуда-то дрова, Башка раздобылся матрацем и одеялом для больной; одним словом, он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется, не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело метаться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрессами, измерял температуру, подавал лекарства и был очень доволен, что у него не остается ни минутки свободного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку водки и молча ее

распивал в обществе Медальона, который делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо чувствовали себя друзья в те часы, когда топилась вечером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.

— Странная вещь этот огонь, — задумчиво говорил Башка, глядя на переливы пламени. — Это стихийное начало, с одной стороны... с другой, символ очищения, прообраз домашнего очага, величайшее приобретение для ветхого человека и неутомимый работник для нового.

Медальон цитировал греческих и римских авторов, припоминая места, где говорили об огне, а Башка сидел и думал, думал, без конца, как думается только в осенние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил; они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой науки и холода, и голода, и всяких других напастей, и в

конце концов выработался из него чистокровный семинарский «башка». Чем только он ни был, проходя через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполатчиком, кадило- и свещевозжигателем, капоиархом, иподьяконом, архиерейским басом, потом служил в консистории, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых промыслах, в городской управе и т. д.

— Не сносить тебе головы, братец, — говорил Башке один старичок, семинарский профессор, — винта не хватает одного в мозгах... Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.

Действительно, в голове у Башки недоставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точ-

но какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной натуры? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских выродков, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.

В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробел: для него женщины почти не существовали, или, вернее, существовали, как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка от-

носился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.

Случайная встреча с Фигурой и Медальоном произвела на него какое-то смешанное впечатление: чем ближе он знакомился с Фигурой, тем сильнее ее презирал, и чем больше ее презирал, тем больше любил Медальона, этого гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало. Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону отечески нежные чувства, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкокостной натурщике. Сначала Башку до глубины души возмущали телячьи нежности в отношениях Фигуры и

Медальона; эти нежности шокировали и коробили Башку, но вместе с тем пред ним страница за страницей раскрывался совершенно неведомый мир, мир неиспытанных ощущений. Фигура любила Медальона, и это неизведанное чувство Башка переживал в отраженной форме. Им овладела какая-то новая тоска, точно он что-то потерял такое хорошее и дорогое и, вместе, такое чистое... Да, это было новое чувство, и Башка боролся с ним молча, сосредоточенно, как борются в темноте со смертельным врагом, который напал сзади.

— Вздор... глупости! — ворчал Башка, схватывая себя за голову.

Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блестела своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека счастливым.

Просиживая ночи у постели больной, Башка припоминал плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она — улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь... Даже философски-организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет, — оставалась одна форма, а содержание улетучилось.

А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный, был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.

— Мне лучше, — прошептала она и пожала руку Башке.

Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливающей.

Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм брал свое, она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.

— Знаете, что мне кажется? — говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали. — Мне кажется, что я родилась во второй раз... Я както проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да... Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоя-

щая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной ленточкой, — и больше ничего. Ведь это во сне все... да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.

Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.

— Что это с ним такое сделалось? — недоумевала Фигура.

— А кто его знает, — равнодушно ответил Медальон. — Он ведь вообще довольно странно себя держит.

Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному благоприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.

— Ну их к черту! — коротко заметил Корнилыч.

— Беленькое платьице... Батистовая рубашка... Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-

ха!.. Говорит, во сне видела... Этакая подлая душонка! И ленточка... тьфу!..

Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться — не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.

— Нет, это уж благодарю покорно! — думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке. — Дудки!.. К черту!

Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый

град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее. Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.

— Теперь уж кончено, — в сотый раз повторяла Фигура. — Я водки больше ни-ни... У тебя теперь есть место, и я тоже найду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Эти планы поверялись и Башке, который только иронически улыбался. Он теперь занят был исключительно философскими соображениями и постоянно спорил с Медальоном, то есть, вернее, придирался к нему и постоянно разбивал его по всем пунктам. Раз та-

кой разговор перешел в настоящую ссору.

— Ничего вы, медальоны, не понимаете — вот что! — обрезал Башка. — Ну, что вы за народ, если разобрать? Плюнуть — и растереть нечего, вот и весь разговор.

— Однако ты, Башка, довольно сильно выражаешься сегодня, — заметил Медальон, задетый за живое.

— А вы привыкли, чтобы вас по головке гладили?.. а? — зарычал неожиданно Башка. — Какой-нибудь издохлый гимназистишко и философия... Ха-ха!..

— Послушайте, это невежливо наконец, — заметила от себя Фигура.

— Не-веж-ли-во? — переспросил с расстановкой Башка, побелев от охватившей его злости. — А тебя, Фигура Ивановна, кто спрашивает?.. К черту!.. Слышала?.. А то я, без церемонии, за хвост да об стену...

Башка разругался напропалую и, как все неправые люди, старался выместить свою злость на ни в чем не повинном Медальоне, который скоро замолчал, что уже окончательно вывело из себя Башку.

VI

Дела в «Плевне» шли всё под гору, что завсегдатаи объясняли отщепенством Башки. Он, правда, бывал в «Плевне», и даже очень часто бывал, но это было «то, да не то», потому что душой он уже не принадлежал к ней, как это было прежде.

«И точно на меня затмение тогда нашло какое, — раздумывал с горечью про себя Ванька Каин, пересчитывая выручку. — Ну, чего стоило дать тогда Башке опохмелиться, ну, какой-нибудь стаканчик — плевать, а теперь вот и ожигайся...»

С другой стороны, Ваньку Каина точно какой бес подталкивал не покоряться Башке ни под каким видом. «Эка важность, и без него проживем: было бы болото, а черти будут!» Наружно он был вежлив с Башкой по-прежнему, хотя и не умел скрыть оборотной стороны этой вежливости, выжидая только случая отомстить Башке по-настоящему. Эти жестокие мысли в Ваньке Каине поддерживались еще больше плохой выручкой, которая даже перед Рождеством не поправилась, хотя это было самое бойкое, время. К довершению всех бед, чуть не под носом у Ваньки Каина

открывался другой кабак, что, очевидно, было делом рук все того же Башки.

— Это даже весьма обнакновенно, — рассуждал Ванька Каин в своей компании с видом угнетенной невинности. — И поговорка такая есть: «Не поя, не кормя, ворога не наживешь». Оно все так и выходит: за мою хлеб-соль да меня же Башка и подводит. Прежде прошения писать сколько мужиков в «Плевну» ходило, так и прут, как в окружной суд, а теперь, видно, шабаш, как обрезало... А все за мою доброту, да, — прибавлял Каин многозначительно.

Завсегдатаи «Плевны» тоже чувствовали себя не особенно весело, потому что и у них дела без Башки сильно пошатнулись, а главное, уж не было прежнего духа. Про себя они тоже обвиняли в своих неудачах Башку, обвиняли, в таких проступках, о которых он не мог знать даже «сном-делом». Так, Корнилыч проигрывался на биллиарде — рука стала не тверда и глаз притупился, а он обвинял в этом обстоятельстве Башку; Трубе где-то в харчевне крепко наломали бока за его гривенку — и тоже Башка был виноват. Даже без-

ответный Хохлик, и тот, ложась с пустым желудком, не раз был огорчен странным поведением своего недавнего покровителя.

Раз, незадолго до Рождества, выдался для «Плевны» особенно плохой день. Снег так и ходил по улицам белой стеной, холод был страшный и пробирал до костей в самых теплых шубах, а у завсегдатаев на троих не было даже теплой шапки. Приходилось сидеть в «Плевне» и ждать, не подвернется ли какой хороший человек. А тут еще, как назло, мимо «Плевны» шли и ехали с разными покупками к празднику: тащили гусей, ломти замороженной свинины, всяческую другую снедь, точно с специальной целью непременно подзадорить щелкавших зубами завсегдатаев.

— Хоть бы Башку черт принес! — ворчал Корнилыч, тоскливо поглядывая на отворявшуюся дверь. — Сказывают, в шубе щеголяет и с бобровым воротником.

— Ах, пес! — ругался Труба. — Ведь вот, подумаешь, какое другим людям счастье привалит.

В момент наибольшего отчаяния в «Плевне» появляется Фигура; она сильно навеселе и

держит окоченевшими от холода руками какой-то бумажный сверток.

— Башка здесь? — спрашивает Фигура самого Ваньку Каина, который смотрит такими глазами, точно сейчас хочет проглотить ее живьем.

— Был, да весь вышел, — отвечает он в галантерейном тоне.

— Мне бы поговорить с вами нужно...

— Говорите.

— Нет, здесь нельзя; у меня секрет.

Каин отлично знал эти секреты своих посетителей и только указал головою на дверь в свою комнату, куда Фигура и шмыгнула с проворством ящерицы. Отдыхавшая на перине Акулина Митревна встретила посетительницу самым неприветливым образом, не говоря ни слова, вырвала у ней из рук бумажный сверток и сердито принялась обрывать бумагу, вытаскивая на свет что-то белое.

— Может, оно украдено, — говорила Акулина, растягивая перед окном тонкую батистовую женскую рубашку, отделанную кружевом, а потом кисейное белое платье с розовыми мушками; из середины упала на пол то-

ненькая голубенькая ленточка. — Ишо в суд потащут за краденое-то. Нет, матушка, не надо... у нас не такое заведение, штобы краденым промышлять.

— Могу вас уверить, что это не краденое, — уверяла Фигура. — Что дадите, то и возьму.

— Сказывай сказки-то, знаем мы...

В сущности, у Акулины глаза разбежались на хороший заклад, но она не могла отказать себе в удовольствии поломаться над ненавистной Фигурой, которую так бы и смазала прямо по роже. Акулине давно хотелось иметь кисейное платье, а то она летом ужасно потела, а теперь платье само прилетело к ней.

— Откедова у тебя такому платью взяться? — тянула Акулина, снова прикидывая на свет и рубашку и платье.

— Да ведь это для вас все равно: мое, и только.

— Твое!.. А купи его да надень, в полицию и представят. Это как?

— Ах, боже мой!.. Я дешево отдам...

— Не надо, — обрезала Акулина, свертывая комом платье. — Наживешь греха-то с вашим

братом. Проваливай подобру-поздорову!

— Послушайте, я даже скажу вам, от кого это платье, только, пожалуйста, не рассказывайте никому...

— Ну?

— Мне подарил все это Башка... Да. Он такой странный... Вчера я вечером была дома одна, Медальон еще не пришел со службы, слышу шаги Башки... Я знаю его походку хорошо. Ну, я нарочно и притворилась спящей и думаю: что он будет делать? Ей-богу, только он вошел в комнату, видит, что я одна и сплю, подкрался ко мне и спрятал под подушку вот этот самый сверток, а сам убежал. Честное слово, не вру, вот ни капельки не вру! Уж что ему за фантазия пришла — не понимаю.

— Сколько тебе под заклад-то?

— Дайте пять рублей... Ведь эти две вещи стоят больше двадцати.

— Два бери.

— Помилуйте, ведь эти вещи из магазина.

Торг закончился на трех рублях, и Фигура, зажав бумажку в руке, отправилась прямо в комнату завсегдатаев и сейчас же спросила три бутылки водки и закуски.

— Господа, мы сегодня кутим! — приглашала она компанию. — Да вы не стесняйтесь, пожалуйста... Ха-ха!.. Ну, первая колом, вторая соколом, а потом мелкими пташечками полетят.

«Плевна» закутила. Корнилыч и Труба позабыли все невзгоды и сосали рюмку за рюмкой; безответный Хохлик тоже «поддерживал компанию». Но всех великолепнее, без сомнения, была сама виновница этого импровизированного торжества, то есть Фигура. Она быстро опьянела и косневшим языком, улыбаясь, рассказывала разные анекдоты о Башке и, между прочим, сама же первая разболтала со всеми подробностями историю последнего подарка Башки.

— Он славный, — тянула Фигура, делая неопределенный жест рукой. — И ленточку голубенькую не забыл... Ха-ха!.. Это я ему сама рассказала... когда была маленькая... да-а!.. Чему вы смеетесь?

Подогретая вином и общим вниманием, Фигура принялась рассказывать о Башке в лицах, кривлялась, размахивала руками и несколько раз чуть не растянулась на полу.

Это даровое представление надрывало животики всей «Плевне», так что сам Ванька Каин хохотал над Фигурой до слез.

— Ох, будь же она проклята, язвина! — шептал он в умилении, утирая катившиеся от смеха слезы. — Недаром сказано, что «баба хмельная — вся чужая»... Ай да Башка, молодца!

В самый разгар этого веселья, когда вся посторонняя публика приняла в нем оживленное участие, в «Плевну» вошел Башка. Ванька Каин пальцем подозвал его к стойке, вынул из шкафа купленный у Фигуры сверток и, развернув покупки на стойке, спросил:

— Узнаешь супрызец-то? Ха-ха!.. Погляди-ка ступай, как твоя-то Фигура представляется.

Башка в первое мгновение совсем ошалел от этой приятной неожиданности, и Ванька Каин втолкнул его в комнату, где Фигура в десятый раз представляла в лицах переделанный по-своему анекдот о подарке Башки. Публика аплодировала и задыхалась от смеха, а Башка, бледный как полотно, смотрел на нее дикими, остановившимися глазами.

— Видел?.. а?.. — спрашивал Каин, наклоняясь к самому уху Башки.

— Видел.

— И это правда все?

— Правда.

Завсегдатаи, заметив стоявшего в дверях Башку, вдруг присмирели и начали один за другим отодвигаться от пьяной Фигуры, которая уже не могла ничего видеть.

— Ну-ка, закати ей хорошего раза, — поджигал Каин осовевшего Башку и даже легонько подталкивал его вперед. — Да ну, взвесели ее, шельму!

Башка через плечо посмотрел на Каина как-то так странно, улыбнулся и, не сказав ни слова, пошатываясь, пошел к двери.

— Постой! Куда ты! — кричал Каин. — Шапку-то хоть возьми, ежова голова!

Но Башка ничего не слыхал и шагал уже далеко, чувствуя, как его голова и без шапки горит огнем.

После этого Башку больше не видали в «Плевне», он исчез навсегда из Пропадинска.

На шихане

(Из записной книжки охотника)

I

— Там кто-то есть... — проговорил Савка, нюхая воздух, как собака. — На шихане [194] артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась — умное животное чувствовало близость других собак.

— Карла с объездчиками... шестером, на вершных, — продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забиравшуюся кверху между двумя россыпями. — Чуешь, барин?

— Нет, ничего не чую... — должен был я сознаться.

— А я давно чую, и Кукша тоже... — прого-

ворил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистоны», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупкой, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

— Далеко еще до шихана? — спросил я, ко-

гда Савка полез в свою шапку за окурком.

— Да версты две, поди, будет... Засветло еще приедем.

Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях — не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда

из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы наконец подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

— Это от олешков... — флегматически объяснял Савка. — Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и в шерсти — вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

— Говорю: олешки... Чего еще тебе? — сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковру; в засуху лишаи хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными ка-

кой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охвати-

ло смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувший со стороны недалекого шихана.

— Теперь по самому по лбу идем... — объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. — Широченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше

смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов; и одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся замок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав — земля «дала пар»,

как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклись высоким столбом комары, где-то впросонье пиликала какая-то лесная «пичужка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучая мышь и быстро исчезала в накоплявшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

— Вёдро будет... ишь как туман-то заходил, — проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. — Кукша, цыц, треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

II

На шихане, вернее — под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и по-волчьи защелкала зубами.

— Ну вы, дуроломы, отойдите! — кричал

Савка на лаявших господских собак. — В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой, сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесообъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

— Мир на привале… — здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

— Мир дорогой, — отозвался один из объездчиков. — Да это ты, Савка?

— Выходит, что я, Иван Васильич… Можно нам заночевать?

— На-вот, всем места хватит.

— А я вот барина по лесу водил, пристали… Кукша, цыц, стерва!..

— Пожалуйт, пожалуйт, каспада… — заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра. — Веста, тубо… назать!.. А, это ти, Сафк…

— Я, Карла Иваныч… Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

— Ошэнь рат… садитесь на месту… Кого убиль?

— Да так, пустяки, Карла Иваныч, — скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок. — Двух поляшей залобовали да польнюшку[195].

— Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава-богу», потому что называл Ивана

Богослова — Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец — вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так. что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шерт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт», — говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержимому: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навыкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная бородка и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хо-

тя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с бору да с сосенки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

— А ви сюда... ковер... — обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик. — Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик, с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в

тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачки, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

— Хорош собак? — спрашивал Слава-богу, облизывая свои пальцы. — Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вы-

зывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

— Эк этот Карла трескает... страсть! — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. — Чисто как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем.

— Хороша у вас сучка-то... — проговорил Савка, отставляя горшок от огня.

— Ничего... — протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку. — На дупелей стойку держит, на копалят[196] тоже...

— Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

— Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото: хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

— Знаю... Куликов стрелять? Известно, гос-

подская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге — от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба, которое сейчас после солнечного заката сплошно потемнело и только мало-помалу «ото-

шло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим светом. В одном месте черкнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

— Это андел божий пал на земь, — объяснял он. — По душу господь его послал, по праведную.

Лежа в балагане, на широких полатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята, некошная! — ругался он за свой испуг. — Эк ее взяло, проклятущую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв ко-

жаную фуражку, помолился на восток.

— Ну, что у вас на Кособродском? — спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок.

— Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высоченная, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которы еще поденщиной перебиваются.

— А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи! — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву.

— Не забыл разе еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?.. Экой у тебя харахтер, Савка... чистый ты дьявол, ежели разобрать... а?

— Хуже дьявола, потому как...

Савка не докончил речи и начал крутить новый крючок.

III

Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеной. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о ночлеге.

— Пойдем, барин, ко мне, заночуем... — предложил Савка. — Я в Студеной живу...

Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

— Да ты чего, барин, сумлеваешься? — заговорил Савка, угадывая мою мысль. — Я в своем дому хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора; ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было; нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом приня-

лась ругаться.

— И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? — ругалась достойная половина Савки. — В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки действительно места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полатях — везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

— Нам бы, Анка, насчет самоварчика? — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

— Самоварчик?!.. да где я тебе его возьму? — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками. — Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугунки-то нет...

— Да ты что больно зудишь? — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем дому. — Я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со

всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

— Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!.. — неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту. — Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка,

Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежу до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савкн прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности.

— Она, Анка-то, славная у меня... — докладывал Савка. — И меня любит, а только на руку больно скора, когда расстервенится. Конешно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей устали; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супру-

жества Анка принесла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

— А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! — кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи. — Который помер — и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что, хоть околей мы тут, ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» — объяснила мне однажды Анка про

мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Шил в Кособродском заводе один мужик, по прозванию Крохаль. Это был настоящий богатырь — высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял звероваными и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохаля было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались, как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы, у богатыря Крохаля был сын, лядащий мужичонко

Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лядащем Крохаленке от младых погтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики — все узнали в Савке особенного человека, которого не тронь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все — трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

— Уж Савка скажет — как завяжет! — ди-

вилось мужичье. — Мудреный, пес...

— Не больно завидно мудренее вас-то быть, — огрызается Савка. — Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

— А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

— И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричной; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней — трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клевретов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благоче-

стивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, наводил грозу на целые селения и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

— Уж знаю, что взловят меня, а иду домой, — рассказывал Савка. — Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже

смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя — еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать — так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому боятся одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

— Как же ты уходил?

— Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь — один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в

острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

— Ну, а Анка что?

— Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля — он просто

перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений. И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кого не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика собственно охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань — куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старый Крохаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованием, но его губила водка — он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

— Уж супротив Савки не сделать, — говорили про него другие мужики, — его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова та-

кие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

— Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? — несколько раз спрашивал я Савку. — Ведь ты мог бы жить не хуже других?

— От зверства своего и пью... — коротко объяснял Савка. — Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое с своей Анкой.

IV

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под

Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженях

пути.

— Важное утречко издалось... — говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок. — Пусть ужо Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него долгие.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

— Пошла, Сафк? — спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

— А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинока набил целый десяток шапкой, — рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой.

— Врать... — скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

— Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак в успленьев пост, ну, им росой-то крылушки и заморозило. Я иду около болота,

а они передо мной порх-порх... Взлететь-то и не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчики; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски. Лес в логах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светло-зелеными, — точно громадные заплаты. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является

скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястреба.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

— Ох, барин!.. — вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. — Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала

в траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

— Бей, бей... — хрипел Савка, закрывая глаза. — Лучше меня бей.

— А... канайль... швейн!.. — ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля. — Ты меня хотел убивайт... душил за горлом...

— И задушу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

— Отцепись ты, дьявол! — кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки. — Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пущай...

— Бей меня, а то пса губить... живодеры,

мошенники! — ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве.

— А шерт минэ взял... а шерт тебэ взял... Зачево минэ душиль?.. — спрашивал Слава-богу, повертываясь. — Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

— У! нехристь... — шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье польнюшки-матки, сторожившей на ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал

утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

— Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то, — как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож. — Ну, счастлив Карла, а то я бы ему выпустил все кишки.

— Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

— Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

— Какой зверь, какой человек?

— А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства — пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади али пса — так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да

должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в шурф и бросили, а сверху елочками закидали... Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь да к сосенке на цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду, — и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее — все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы

жили. Ну, народ, конешно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!» Признаться признались, а куда убитого купца дели — не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли... Так народ что тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадью! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела...

— Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

— Ах, какой ты непонятный, барии... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, потому она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому такой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не приши-

бить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку — и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцем, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки, тогда и жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что хошь со мной делайте. Обратно вам полштоф ваш выставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального миросозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости»; его пытливый ум прилепился к безграничному лесному просто-

ру, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

— Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? — допрашивал меня Савка. — К этим угодным человекам всякой лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот

понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житьишко да про других-то, господи милостивый, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом гляжу, вся рожа-то у меня мокрая: слезой проняло.

Бойцы

(Очерки весеннего сплава по реке Чусовой)

Ой, дубинушка, ухнем!

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на дале-

ком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега, — одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами.

Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной

красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу горы. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских при-

станей, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися

и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, козла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину.

Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил я глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна вешней полой

воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря.

Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иваныч?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иваныч энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Иваныча с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая бородка и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иваныч, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иваныч сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба. — Аспиды!..

— Да чем они вас так обидели, Осип Иваныч?

— Как чем?.. Сегодня какой день... а? — грозно приступил он ко мне, размахивая руками. — Какой день?

— Кажется, двадцать третье апреля...

— Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля — Егория вешнего — поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий — все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иваныч совсем другим тоном проговорил:

— Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

— Зачем?

— Народ гнать на работу. Только отвернись — сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки и в кабак, а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубахе; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за труднобольного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

— Это ты, Савоська? — окликнул мужика Осип Иваныч.

— А то как же... я... я!..

— Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

— Да ты где, каналья, шары-то[197] налил?.. а?! С какой радости... а?! Люди работают, надрываются, а он...

— Осип Иваныч… дай опохмелиться!

— Чего?

— Опохмел…

— Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! — крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

— Гли, робя: Савоську опохмелили! — слышался из толпы чей-то веселый голос. — Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

— Видели? — спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

— Да…

— А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас… Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете[198] по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это

был красивый мужик лет сорока с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычание, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертом[199], и, пошатываясь, закричал:

— А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Веррно!..

— Ты у меня еще поразговаривай! — закричал Осип Иваныч.

— А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

— Прямо в кабак, шельмец, задул! — ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

II

Осип Иваныч служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый,

вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он собственно был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иваныч без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

— Я их всех насквозь вижу, разбойников, — уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. — Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черррту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули

за угол. Попадавшиеся на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах[200] и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь молодцы, только что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я?! У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку[201] барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти

свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге. Вперед выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

— Осип Иваныч! Мы уж к твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятские мы, родимой мой, вятские...

— Ты не в первый раз на сплав пришел?

— Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

— Ну, так чего тебе от меня нужно?

— Да вот запоздали мы, Осип Иваныч... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

— Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?.. — заорал Осип Иваныч, выкатывая глаза. — Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?! а?!

— Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... — как-то равнодушно оправдывался

старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. — Подушное, Осип...

— А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток — за трое суток и штраф по контракту...

— Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

— Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочитать произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

— Аспиды! Разбойники! Мошенники!! — ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

— Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь, — говорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. — Севодни наш день, а завтра — твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

— Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за

угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служаки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака уже без шапки. — Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и нарродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские

бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих Каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в

Пермь, — все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки — праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек, — ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса[202] да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же хоть

из-за хлеба на воду заработает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артелями нанимаем. Один из артели не явился — вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав — все расползутся, как тараканы.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

— Осип Иваныч, ослобони! — взмолился

было давешний седой старик, выступая из толпы.

— Нет, друг мой, не могу: у меня слово — закон! — отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где начиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезываемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

— С этим народом иначе невозможно, — объяснял он, когда мы, наконец, продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. — Ох, смерть

моя! — стонал он, не зная, кому отвечать. — У кабака с Каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочитать одну мысль — мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и

разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выждал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. — Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

— Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

— Ах ббожже ммой!! А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

— Оно тошно што, оно по кондракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплаву не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

— Зачем вы его выгнали? — спросил я. — Ведь он совершенно верно говорил все...

— А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с

мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промозглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для приходящих, — все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кипами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бу-

мажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

— Эти все штраф заплатят? — спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

— Да, запоздали... — весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. — Рубль штрафу, за каждый просроченный день...

— А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! — лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. — Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безусому молодому лицу бродило много мух. Два

других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при становом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

— Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! — ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна глядело сь весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена стеной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну чего, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По кондракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

— Выворотимся! — решил плечистый мужик в рваном зипуне.

— Надо обождать, — заметил Силантий. — Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, — заметил он, вынимая из котомки берестяный бурак.

— И пусть спущают, — горячился белобрысый парень. — Я сам-сем в семье, а ежели

пашню пропущу из-за вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?..

— А так... Осип Иваныч сказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

— Что, плохи сухари-то? — спросил я Силантия.

— А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка завалялась, заплесневела,

огрызок ребятишки оставили — все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы[203] испортятся, картошка почернеет — все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса — и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Вы издалека? — спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

— Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... — отвечал Силантий, на-

девая шапку. — Ну, Митрей, на сёдни потрапезовали, а к завтрю тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

— Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

— Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спрашивал я Силантия.

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали — сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас кон-

дракт... За десять-то рублев ты и должон месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по кондракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должон выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины[204] в дороге проносишь, сколько обуя[205], а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей

не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу, — ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сем: вот тебе и гармонь!

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца...

— Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-бедовенная!

— А тебе случалось так уходить со сплаву?

— Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров

день… Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьишку измором сморишь!

— Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

— Ишь как камешки да мастеровые разгулялись, — задумчиво проговорил Силантий. — Им што: сполагоря — весь тут. Получил задаток и гуляй… Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака… Ох-хо-хо!.. Мы каменских бурлаков камешками зовем, барин…

— Да и они тоже не от радости в кабак

идут, Силантий.

— Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испитые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в

глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность делала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, оленьи круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

— И уродит же господь-батюшко эку страсть! — богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и указывали пальцами.

— Гли, робя, шапка-то как на ём! — резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. — Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

— А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

— Это бороться, надо полагать.

— Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди — инородцы, которых на каждый сплав сбирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лишева. Из-под белых войлочных шляп свер-

кали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего: они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или после-

завтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кунчал... — задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

— Нянь? — спросил я.

— Нянь, нянь... — ответил пермяк и даже не удивился, услыхав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих лю-

дей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым

мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

V

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза — одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только по-

пасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

— Шшш... — встретил меня многознаменательным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

— Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? — поспешил я осведомиться.

— О нет... Все, слава богу, здоровы; только

в кабинете у меня сам отдыхает.

— Кто сам?

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управите-

ля, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полушепотом.

— Слышите, что делается? — говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. — Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

— Конечно, вам легко рассуждать, — вступился один из управителей, — ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

— Господа, нужно промочить горлышко, — суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. — Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

— Много больных на пристани? — спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

— Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка, — так и валятся десятками!

— Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящ-

ными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит — мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безыменный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем

ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки!.. — постоянно повторял немец, когда у него убивали карту. — Сукина сына, туда твой дорог... Швинья — карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

— Егор Фомич изволят шевелиться... — змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

— Шш... — зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: — У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит — ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

— Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и ви-

зиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания, — словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

— Господа! Пожалуйте в залу! — пригласил всех хозяин. — Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге, наконец, показался и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

— Не помешали ли вам отдыхать, Егор Фомич? — суетился поверенный, забегая петушком перед «самим».

— Ах нет, прекрасно выспался, — небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь

с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольничьего склада. Это был управляющий ...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

— Надеюсь, вы всё видели, все наши порядки? — лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

— Да, видел-с... Народ распустили — безобразие! — коротко отвечал старик. — Порядку настоящего нет...

— Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! — взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. — Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но

что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, видавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

— Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! — ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, что-

бы принять стакан чая. — Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю?[206] Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? — обратился он к становому.

— А... что?.. Так точно-с... — отозвался Павел Петрович, бурбон чистейшей воды.

— Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

— Помилуйте-с, с большим удовольствием!

— И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

— Дда... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

— Я, право, еще не знаю, — отозвался доктор. — Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

— Чего же тут думать? — вежливо удивлялся Егор Фомич. — Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки — пять — семь процентов, а от «Непту-

на» вы получите пятнадцать — двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил еще мягче и душевнее:

— Я понимаю, что вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

— Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, — возражал Алексей Самойлыч неуверенным тоном. — Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

— Я то же думаю, — вставил свое слово Парфен Маркыч.

— Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати — двадцати процентов?

— Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, — заметил доктор с своей стороны. — Один неудачный сплав, и вместо

дивидендов получатся дефициты...

— Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, — мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. — Но ведь в промышленных предприятиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравновешивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

— Пастаки! — провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. — Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станового в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

— Никак нет-с, — почтительно отвечал Семен Семеныч.

— Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

— Урал — золотое дно для России, — ораторствовал Егор Фомич, — но ахиллесова пятка его — пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят гор-

ных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая железная дорога[207] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — немыслимая вещь.

— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.

— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

— Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, — говорил он, играя массивной золотой цепочкой. — Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соеди-

ниться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

— Да, бурлаки — совершенная язва, — почтительно вторил Семен Семеныч.

— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.

— Очень просто: мы заменим сплав на потесях сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждым раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, — заметил доктор, — а вода спадает через неделю...

— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. — С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничто-

жим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтенье, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

VI

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Иванычу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы

чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп»[208], тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплыви. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накопляется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

— Что, доктор? — спрашивал я, удержива-

ясь от желания пощупать свою голову.

— Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

— Нет...

— Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

— Шартрез?

— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

— Это вы насчет Егора Фомича?

— Да...

— Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, — вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

— Это-то понятно, только он едва ли че-

го-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопает Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед — дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

— Вы шутите?

— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот

сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.

— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.

— Да.

— В этакую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

— Пожалуй.

— Нет, в самом деле таких белых ночей не

много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

— Где же ваши пациенты? — просил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

— А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

— Осторожнее, здесь нет ступеньки... — предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

— Осторожнее, здесь люди... — шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, ша-

гая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходило кругом.

— Это ты, Силантий? — проговорил доктор.

— Я, ваше благородие... я... — отозвался старик, с тяжелым кряхтеньем поднимаясь с пола.

В этой сгорбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

— Ну, что больные? — спрашивал доктор.

— Да кто их знает, ваше благородие, лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

— Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

— Может, и не слышал... — равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину. — Уж как бог...

— А ты лекарство подавал?

— Подавать-то подавал...

Больные — Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, — лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза — все это было красноречивее слов.

— Кончается? — спрашивал Силантий так же равнодушно.

— К утру будет готов...

— А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

— Сапоги...

— Какие сапоги он спрашивает? — шепотом осведомился доктор у Силантия.

— Он так это, ваше благородие... не от ума городит, — объяснял старик. — Ишь втемяшилось ему беспременно купить сапоги, как

привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность — трудно сказать.

— Так Кирило-то, говоришь, помрет? — спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

— Да... — коротко ответил доктор, задувая огарок.

— Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

— Похоронят как-нибудь...

— Известно, похоронят... Нет, дома-то у Ки-

рилы семьища осталась — страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средствия никакого не будет Кириле от вашего благородия?

— Нет, не будет...

— Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завыла.

— Чует упокойничка... — проговорил Силантий.

— Вот вам жертва голодного тифа... — угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

— И много таких?

— Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

— Доктор, слышите? — спрашивал я.

— Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут, совсем близко.

— Целая стая... — заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

— А ведь вы и меня на грех навели, — проговорил он. — Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал веселую скотинку, вот они и поют! Огонек-то видите на берегу? — там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

— Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

— Неужели никогда не слыхали?.. Очень просто: у одного здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятности, ее укусила бешеная собака, ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще нужно ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в зем-

лю. А время самое горячее, до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздник; они взбесившийся скот зовут веселой скотинкой и едят его за настоящий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как они будут расправляться с бедной коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огонек на берегу и закутили. Именно закутили, потому что совсем отощали и пьянеют от еды. Я сам ходил смотреть на них: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, ну, одним словом, все признаки отравления алкоголем.

— Может быть, это происходит от отравления зараженным мясом?

— Сначала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьянение происходит и от хлеба. Ест-ест, пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

— Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

— Да, да... Голод согнал сюда народ со всех

сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

— Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? — спрашивал я.

— Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим александрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

— Все это вздор, — отрезал доктор, безнадежно махнув рукой. — Жаль только, что все эти медовые речи отзываются все на той же бурлацкой спине.

— Именно?

— Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека — и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются около каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, за-

писали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублей, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

— Да.

— Ну, так досыта наглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

— А их куда девают?

— Как куда? Не тащить же с собой — оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежался — твое счастье, умер — добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

— Может быть, им выдаются пособия?

— Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит

благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплывете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть усмиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «веселой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хоте-

лось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тянущие душу ноты. Наконец я забылся тревожным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

— Какой там черт ломится? — сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

— От караванного, — слышался голос под окном.

— Черти полуношные!.. — ругался Осип

Иваныч, отправляясь отворять дверь. — Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? — спрашивал он в передней посланца.

— Вот писульку прислали, — почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плеваться.

— Что случилось, Осип Иваныч? — спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

— А вот извольте, полюбуйтесь!.. — сердито сунул мне под нос принесенную писульку Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: от этого все зависит...

— Подлецы! Аспиды! — неистовствовал Осип Иваныч, облекаясь в архалук. — Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами...

Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помешались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть готовы к обеду. У Осипа Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответствующие приказания. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

VII

Каменка — название исторического происхождения.

Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок; а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года, «со много-

людством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами», нечаянно напал на него, многих российских подданных и ясачных (плативших царскую дань мехами — ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и побитых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствиев от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице при-

соединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы в свою очередь учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогуличей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение, поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украйны. Даже неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже то-

гда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им, Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предупредило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение несколько столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с безвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться странным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации, разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, ес-

ли мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас голутвенных[209], обнищалых и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украйнам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украйна представлялась еще со времен новгородских ушкуйников[210] самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные и обнищалые людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень, — эти кровавые страницы русской истории ка-

саются нашей темы только с той стороны, поскольку они служили к образованию того оригинального населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа, когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей, из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина [211]. Странника приняли и обогрели, как своего человека, потому что незнаемый при-

шлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечерком вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, жена Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гулящие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает, и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, тоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправился, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой наслышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагил-реку и там действительно отыскал медную руду и в то же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольни-

чьих старицы: Платонида, Досифея и Варсонофия, и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвался раскольником и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвестный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образа пишут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжился с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоломей читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее, и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Тобольске, где он объявляет «госу-

даревы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Тобольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Тобольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ[212], под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии, города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но дорогой воевода Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а

потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться своим доносом Веселков, то мы, рассматривая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими — и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и стариц, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетьми. Старице Варсонофии было около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз

поднимали на дыбу, били плетьми и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное вознаграждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищалые до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать по-прежнему и по-прежнему неизвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую на Каменке сплавную сутолоку, я невольно при-

помнил исторических голутвенных людишек: они опять были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Возникли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право — да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представи-

тели крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая — одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Се-

верной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, коренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал иногда достигает страшной высоты в семь аршин.

Для сплава, конечно, самое важное, когда лед вскроется на реке. Но и здесь примениться к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых снегах река сама не в состоянии взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощи которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней пристаней в течение нескольких недель составляет самую горячую злобу дня, от него зависит все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной реки, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет живую двигающую силу, капитал, то такой выпуск из Ревдинского пруда обставлен множеством недоразумений и препятствий, самое главное из которых заключается в том,

что судоотправители не могут никак прийти к соглашению, чтобы действовать заодно. Одним нужно раньше выпустить воду, другим позже, идут бесконечные препирательства, пока ревдинское заводоуправление в видах отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням приходится уже только ловить золотые минуты, потому что пропустил какой-нибудь час — и все дело можно испортить. Поэтому ожидание, когда Ревдинский пруд спустит воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всех в голове.

Понятно то оживление, какое охватило всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

— Вода пришла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко-торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрели женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи[213]. Ребятишкам был настоящий праздник, и они метались по берегу, как

стаи воробьев.

Выползли старые-старые старики и самые древние старушки, чтобы хоть одним глазом взглянуть, как нынче взыграла матушка Чусовая. Некоторые старики плохо видели, были даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой и как галдит народ на берегу. Вероятно, многие из этих ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавших на своем веку на Чусовой, и пришли на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последний раз любуются своей поилицей-кормилицей. Сюда же на берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдавило поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползает от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагонявший на все лица веселые улыбки.

— Вам, может быть, идет пенсия? — спросил я одного такого калеку.

— Кака пенсия? — переспросил он с удивлением.

— Из караванной конторы пенсия... пособие.

— Нет, у нас никаких пособиев не полагается, барин.

— Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, на караванной работе?

— Снастью отрезало... Я у огнива стоял, а снасть-то и оборвись.

— Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

— Уж это што говорить: калека — калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

— Конечно, обязана...

Мужик задумался: перспектива получить пособие смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

— Нет, барин, это никак невозможно...

— Почему?

— А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособиев... Да это и денег недостанет! Которым сплавщикам увечным — это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку... Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь как глазищами ворочает, вроде как осетёр...

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фомича, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

— Немного диковато... — нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевели-

лась на всем протяжении, как громадная змея, с шипением и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, с пеной катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

— Сплавщики пришли проздравлять! — доложило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иваныч, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался.

Впереди других стояли меженные[214] сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего начетчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за него выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весельчак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, причмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем рваном азяме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к сожалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смышлеными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

— Пришли проздравить Егора Фомича... —

заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

— Сейчас, сейчас выйдут! — торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точно в их фигурах или платье могло затаиться что-нибудь обидное для величия Егора Фомича.

— Ох, старый — не молоденький... А у меня, Осип Иваныч, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! — смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами. — У меня это завсегда... В том роде как часы...

— Ну, ну, будет тебе молоть-то!

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

— Шш!.. — шипит караванный, опять вбегая в переднюю. — Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чего-нибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

— С вешней водой… со сплавом! — говорил Лупан, отвешивая степенный поклон.

— Спасибо, спасибо, братцы! — ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан водки. — Уж постарайтесь, братцы. Теперь время горячее, в три дня надо поспеть…

— Как завсегды… Егор Фомич, — говорит Лупан, вытирая после водки рот полой кафтана. — Переможемся… Вот как вода…

— А что вода?

— Надо полагать, что кабы над межею-то больно высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит…

— Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

— Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как ни на есть. Разве народ што…

— Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота… А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?

— Водка первый сорт, Егор Фомич, — не запинаясь, отвечает Окиня, — да стаканчик-то у тебя изъянный: глонул раз и шабаш — точно мимо на тройке проехали…

— С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно работать вплотную, — милостиво шутил Егор Фомич. — Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой стаканчик.

— Не омманешь?

— Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа — чего же больше?

— Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка, — говорил Окиня, проталкиваясь к выходу. — Видно, добавить придется из своих денежек. Старый — не молоденький.

— А когда караван отвалит? — спрашивал я Лупана.

— Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидать. Вишь, ноне кака весна-то ударила, то-то гляди не подняло

бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтов-косных. При каждой казенке, то есть барке, на которой плывет караванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно, косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заведенному порядку, как необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики — одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Что-

бы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот — пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей[215], струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой — другие. При малой воде выступают огрудки[216] и таши[217], а при высокой с баркой под бойцами невозможно никак справиться. Но одного знания, одной

науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела. Хладнокровие, выдержка, смелость — самые необходимые качества для сплавщика: бывают такие случаи, что сплавщики, обладающие всеми необходимыми качествами, добровольно отказываются от своего ремесла, потому что в критические моменты у них «не хватает духу», то есть они теряются в случае опасности. Кроме всего этого, сплавщик с одного взгляда должен понять свою барку и внушить бурлакам полное доверие и уважение к себе. Но все сказанное вполне можно понять только тогда, когда видишь сплавщика в деле на утлом, сшитом на живую нитку суденышке, которое не только должно бороться с разбушевавшейся стихийной силой, но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика пере-

ходило вместе с кровью от отца к сыну. Обыкновенно выучка начинается с детства, так что будущий сплавщик органически срастается со всеми подробностями тех опасностей, с какими ему придется впоследствии бороться. Таким образом, бурная река, барка и сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

— Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня.

— Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

— Я уж проздравился... Три дни пировал без просыпу, а теперь трёкнулся.

— Как ты сказал?

— Говорю: трёкнулся... Ну ее, эту водку, к чомору!

«Трёкнулся» — значит отрекся.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном — металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь — наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди — работа самая тяжелая, и у непривычного человека после двух-трех ча-

сов такой работы отнимается поясница и спина теряет способность разгибаться.

— Много осталось грузиться? — спросил я Савоську.

— Четь[218] барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чусовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят — «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженей длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Построй-

ка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных козлах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В носовых плечах барка строится шире кормовых вершка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

— Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, — объяснял Савоська, — барка не станет разводить струю и будет вертеться на ходу.

Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя[219]. Из

этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну — это пыжи; сверху на борты накладывается три поперечных скрепления, озды, затем барка покрывается горбатой, на два ската, палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив — два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изу-

чает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Спишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой спишки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные колья) барка при веселой «Дубинушке», наконец, всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а

сплавщик только командует бурлаками.

— А как вы грузите барку? — спрашивал я Савоську.

— Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пыж грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

— А сколько барка поднимает всего?

— Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Приноравливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменские и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги[220], что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой

летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

— Едва поднял, — утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоровенный бурлак.

— Ах ты, пиканное брюхо![221] — передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

— Муторно на них глядеть-то, — заметил равнодушно сплавщик. — Нехристь, она нехристь и есть: в ём и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменской — в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный, среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно достава-

лось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

— Да будет тебе, Порша, собачиться-то! — заметил, наконец, Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. — Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

— Это ладно?! — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. — По-твоему, это ладно... а?

— Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

— Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

— Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

— А вы на караване думаете сплыть? — спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей «обязанности».

— Да.

— В Пермь?

— Да...

— На казенке поплывете?

— Не знаю еще...

— А то плывите со мной. Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.

— Да ведь Порша отказался от своей должности? — проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

— Порша-то? — проговорил сплавщик, не глядя на берег. — Нет, мы с Поршей завсегды вместе на барке ходим... А это у него уж карахтер такой несообразный: все быргает. Вот ужо уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и

должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик — кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч. Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

— Савоська обнаковенно пирует, — говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах, — а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает. И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал — шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит — в ём уж духу и не стало. Как пе-

тух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

— Што говорить! — соглашалась кучка слушателей. — Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

X

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после перво-

го вала. Эти три дня прошли. Барки почти все нагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

— Святить караван, отец Николай?

— Да... Покойники есть, человека два, надо будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву!

Я вспомнил про больных мужиков, которых навещал доктор: живы ли они, или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

— Ночью придет вода, а завтра — отвал... — заговорил Осип Иваныч. — А это кто с вами?

— Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

— Так-с... Что же, доброе дело, — согласился Осип Иваныч.

— Он думает записаться бурлаком, Осип Иваныч...

— И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и да-

же поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с одного кончика стула на другой.

— Я ведь отлично знаю ваши порядки, — не унимался Осип Иваныч. — У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

— А вы все воюете? — политично переменил батюшка неприятный разговор.

— Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

— Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

— Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели проницательно, говорил он не торо-

пясь, с весом, улыбался редко — вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший — и по фигуре и по голосу, только вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету всё и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака — не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых гребней. Картина для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло. Между прочим он успел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае и больной и мертвый остаются на пристани на волю божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

— Пора! — слышался сдержанный шепот. — А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

— Пять четвертей над меженью! — шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

— И еще прибудет?

— Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич, наконец, изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже поцеловал у него руку.

— Все готово? — обратился он к караванному.

— Все... Освятить караван и в путь.

— Гм... Время, кажется терпит, — заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр. — Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

— Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! — подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а между отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о

значении капитала и предприимчивости и так далее. Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели как на иголках; батюшка тоже тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак, наконец, кончился.

— Можно начинать? — осведомился батюшка.

— Пожалуйста, отец Николай! — с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич. — Как это в священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, — бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие

было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

— Вот и ваша каюта, — обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки. — Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

— Дай бог, дай бог! — отвечал за нас Егор Фомич. — В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

— Ох, воду пропустили! — стонал наш водолив Порша. — Непременно набежит сверху караван...

— Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют, — успокаивал сплавщик. — К поносным, ребятушки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по палубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком бла-

гоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шляпу на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, оставалось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку. Осип Иваныч остался на берегу и, как шар, катался по горбатому мосту, под которым должны были проходить барки.

— Разве он останется? — спросил я Савоську.

— Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

— А почему не первой?

— На всякий случай: какая барка убьется или омелеет — мы сыматъ будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода — три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул белым платком, на берегу грянул пушечный

выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, — и пятьдесят человек бурлаков работали из последних сил, побрасывая тяжелые потеси[222], как игрушку. Одна барка черпнула носом, другая чуть не омелела у противоположного берега, но вовремя успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

— Отдай снасть!..

Двое косных подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатому мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в открытый шлюз льется сдавленной струей, точно в

воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

— Нос направо, молодцы!! Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту, что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бесконечный лес, встают и надвигаются горы, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка несется вперед все быстрее и быстрее.

— Похаживай, молодцы! — весело покри-

кивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синевато-серую даль.

XI

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертываясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собствен-

ным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплому, южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы понять те поэтические грезы, предания, саги и песни, какие вырастают около таких рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь — лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке, как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на

палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сливаясь в бесформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два пенящиеся вала и снова подымаются из воды. Только мало-помалу из этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы, наконец, разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой — конец поносного с кочетом — стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест свежими веревочками

новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки, как блин, глядит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошшо навались, робя!» — говорит он, всей грудью напирая на свою губу; видно, как под рубахой напруживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синеет от напряжения, но он счастлив и ворочает свое бревно, как шестигодовалый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

— По закону, кажется, нельзя ставить на барки женщин? — спрашиваю я у сплавщика.

— По закону-то оно точно что не дозволено... — ухмыляясь, отвечает Савоська. — Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспременно эти самые бабенки попадут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь — все мужики стоят, а как отвалила — бабы и объявятся, вроде как

тараканы из щелей.

— А плата им какая?

— Ну, обнаковенно, бабе бабья и цена: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

— Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, омелела барка — ну, мужики с чегенями в воду, а бабу, куда ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

— А много наберется на караване баб?

— Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного, третья с краю робит бабенка — это его жена. Как же... Как напьется — сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает, — ну, жена-то и идет на придачу.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб запишет бурлаками, а с миру и набежит ребя-

тишкам на молочишко. Великое это дело — мир... По рублику, по двугривенному, по пятаку с рыла, а глядишь — в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с караваном, — бездомовный, самый жалкий сброд, который река сносит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужние жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном азяме и какой-то поповской шляпе Бубнов выглядел самым отчаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбающуюся рожу, чтобы

сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его слабостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку — только всплеснул руками.

— Что, обрадовался небось? — балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой. — Больно я о тебе соскучился.

— Да в котомке-то у тебя что... а? — кричал Порша.

— Муниция.

— То-то, муниция... Знаем мы тебя.

— Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и

несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал, вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносного работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! — покрикивал на них Бубнов. — Что брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном красном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

— Ты, умница, с кем плывешь? — спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

— Одна... С кем мне плыть-то!

— Обнаковенно, живой человек — не полено! — объясняет Бубнов, к удовольствию

остальной публики. — По весне-то и щепы парами плавают.

Бабенка сердито отплевывается и кокетливо опускает глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться взаимными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сгорбленный субъект, в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого

молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубщика. Кравченко фамильярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, закидывая голову назад.

— Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? — спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем. — Мотри, как дьякон-то на тебя зенки выворачивает... Кабы грех какой не стрясся.

— Да ведь он женатый, — отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

— Что что женатый... Женатому-то еще лучше, потому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бед-

няга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неунимавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

— Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

— Сам с плехой плывешь! — огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное

общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон на корме у правого поносного «робят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым ли-

цом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. Тоже вот молодец в красной рубахе, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой — и те дружно робят. На передней палубе подгубщики хороши, потом человек пять каменских бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, ленится, но он на съемках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

— Веселенько похаживай, голуби! — по-

крикивает Савоська, глядя вдаль. — Нос налево ударь... нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

— У нас Савостьян Максимыч — орелко, одно слово! — переговаривались между собой бурлаки. — Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать — верно!.. У него глаз вострой.

Осип Иваныч скоро обогнал нас на косной с шестью лихими гребцами — косными. Лод-

ка летела стрелой.

— Куда это он плывет? — спрашивал я Поршу.

— Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно наблюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

— Что поглядываешь часто на переднюю барку? — спрашивал я Савоську. — Разве Пашка плохо плавает?

— Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он «щукой» проходил под самыми камнями; Лупан работал

осторожно и не жалел бурлаков: в нем недоставало того творческого духа, каким отличался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, — это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, — это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, — это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает сере-

дину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить, если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп или пены. Возьмем самый простой пример, именно, движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Поте-

си помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из тихой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями — зависит от множества условий: от свойств течения реки — куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец, от количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных

правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая задачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, который должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

— Где ты всему выучился? — спрашивал я его.

— Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугун, сало, хромистый железняк, а потом железо, медь, хлеб.

— Сколько же вы получаете за сплав?

— Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять — сорок рублей платят, а которые с медью — пятьдесят — шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь — награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто нищенское, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профес-

сиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть, летом, то есть заработает в год рублей полтораста.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторонам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плёс, где вода стоит, как зеркало; эти плёсы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плёсы и перебоpы. Самые опасные переборы, вроде Кашинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими проме-

жутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно подымаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Представьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветрилась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображе-

ние дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Александр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молоденькие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным языком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих каменных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом.

Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду, — по реке катится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под этими скалами и проходит мимо них в почтительном молчании.

Самые высокие и массивные скалы — еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направлением водяной струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого поворота и точно ждет добычи, которую ему бросит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движение и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и

баркой и, когда остается всего несколько сажен, отдает команду как-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубе, и поносные, эти громадные бревна, даже изогнутся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и другие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро минует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

— С коня долой! — командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность —

все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музыкальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы человека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чусовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии тво-

рить толы, одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями, — настоящее лесное мужичье.

По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина — эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди — горькая осина с своим

металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь растительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел, — объяснял Савоська. — Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст

протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет поноса огороженных покосов, и опять лес и лес, без конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

— Скоро шабаш, видно, Утке-то, — говорил Савоська, поглядывая на пристань.

— А что?

— А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок

полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

— По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

— Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить — вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

— Полтораста тысяч бревен!

— Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку — самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем за-

прос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов[223]. Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Ку-

швой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой, и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

— На что в межень — и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, — объяснял Савоська. — Того гляди, выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Деминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, — от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но

Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

— Что так? — спрашивал я Савоську.

— Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову.

— Разве здесь грабят бурлаков?

— Нет, не слышно... А так, пронес господь — и слава богу. Одним словом, небаское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует[224]. Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел — дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, — прибавил Савоська, — мало ли зря, поди, болтают про допрежние времена...

Немного пониже деревни Пермяковой мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она

глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были снесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Поносные были сорваны. Снастью она была прикреплена к берегу, — очевидно, это на скору-руку устроили косные, бурлаков не было видно на берегу.

— Где же рабочие? — спрашивал я.

— Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должон быть во всяком случае у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудина-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

— Чьих вы будете? — крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

— С людями несчастиев, значит, не было на убившей барке, — проговорил Савоська в раздумье.

— Отчего ты так думаешь?

— Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пшеницей была, она как ударилась в боец — не ко дну сейчас, а по-маненьку и отползла от бойца-то. Это не то, что вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась бы, а эта хошь на одном боку да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастера нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

— Мотросит... — проговорил он, выставляя руку под накрапывавший мелкий дождь.

— А что?

— Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваются в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

— А где будем хвататься? — спрашивал я.

— Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковом успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет, — с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддоржать корму». — Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писаный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати саженях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего

нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу стоит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец, Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажен высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронеслись над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой

страницей, где ученый шаг за шагом может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько предупредительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхождению каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда[225] и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась — недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет, — первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчисли-

мых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в готовом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географиях Усть-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и, наконец, застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем,

с одной стороны, плутонические породы, с другой — нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, делая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любуется этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных

геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые осадочные образования, как результат работы могучей горной реки и атмосферических деятелей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Уралу, как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью реки Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перевалил в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка, — и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить,

что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами сибирской украйны были голутвенные и обнищалые русские людишки, а Ермак шел уже по проторенной новгородскими ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украйнам, этим предохранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составлявшем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю

толстые столбы, за которые удобно было крепить снасть. Широкое плёсо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы схватиться, — объяснял Савоська. — Да видишь, под самым Кыном перебор сумлительный... Он бы и ничего, перебор-от, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном выворотило. Силища несосветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка — одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть — то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый мо-

мент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический момент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка вовремя облил его водой из ведерка.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська. — С коня долой...

Все сняли шапки и помолились на восток.

— Спасибо, братцы! — коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

— Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится,

как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кравченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

— А я у тебя, Порша, беспременно сдую штыку, — шутил Исачка во время осмотра. — Верно тебе говорю...

— Без тебя знаю, что сдуешь, — стонал Порша. — Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шуткам и забористым остротам не было конца. «У нас Порша вроде как куриц теперь щупает», — острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

— Ну, ты и так еле ноги волочишь, — проговорил Порша, махнув рукой. — Ступай себе

с богом...

Появился Осип Иваныч. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

— Где это вы все время были? — спрашивал я его.

— Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень [226] ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

— Все благополучно, Осип Иваныч... Только вот кабы дождичек не подгадил дела.

— Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни покрышки!..

— Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас паводок и камнях, не успеем выбежать...

— Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом или коньяком? — обратился ко мне Осип Иваныч.

— Все равно, только поскорее чего-нибудь горяченького...

— Ха-ха... Видно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая

страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю и всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двоих было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводить не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголочки и вместе сшито на живую нитку. Савоська при помощи досок устроил между скамейками импровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колбаса, балык, сыр и так далее.

— Савоська! Выпьешь для первого привала? — спрашивал Осип Иваныч, наливая серебряный стаканчик.

— Нет, ослобоните, Осип Иваныч... Не могу теперь.

— В Перми наводить будешь? Ха-ха!

— Уж как доведется, — скромно отвечал

Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдечек. Осип Иваныч усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

— Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами и пил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай с «господами». Осип Иваныч был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

— Самая собачья наша должность, — хрипел он, дымя папироской. — Хуже каторги... А привычка — что поделаете! Ждешь не дождешься этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

— Точно так, Осип Иваныч...

— То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик. Ну, кто у тебя на барке плывет? — уже шутливо спрашивал он.

— Да так, всякого народу довольно...

— И Даренка плывет? Знаю, знаю... Сорока

на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плывет одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

— Вы уж меня извините, голубчик, — обратился ко мне Осип Иваныч: — живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

— Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иваныч, — почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх донышком.

— А нам, на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в могиле, только время от времени вырывались из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варилась каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

— Ошарашим по стаканчику? — говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост, Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу била жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над са-

мым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцами. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

— Садитесь к огоньку, — предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

— Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем, — глухо заговорил мастеровой. — Он на Чусовой разбойничал...

— А давно это было?

— Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить — только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там его не удержишь: как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рас-

сказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и отведет...

— Как глаза отведет?

— Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда — а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнообразными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Му-

жицкая фантазия, как и фантазия привилегированных человеков, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

— Нездоровится? — спрашивал будущий дьякон.

— Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

— А семья у тебя есть?

— Как же... Ребятенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет — и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной, где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а вместо работников выходит два едока. В допрежние времена всем калекам и не способным к тяжелой работе было место: кого куда рассуют, а ноне другие порядки: извелся на

работе — и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

— Это вроде как у нас тоже, — вставил свое слово будущий дьякон. — У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

— Лучше было, что говорить! — повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь. — Знамо, что лучше... Как уж и жить будем! Тоже не от сладкого, поди, житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

— А я к дождю-то больно разнемогся вечор, — прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат около шеи. — Вишь, как частит!.. Другие в мокре стоят — ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем востроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он

немного смутился, а потом проговорил:

— Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как скрозь решето.

— Рано завтра отвалит караван?

— А кто его знает? Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

— На два вершка воды прибыло в Чусовой, — заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. — Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просыпался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани. В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел

в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено. Караван кыновской успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почерневших от дождя.

— На пол-аршина вода прибыла за ночь, — как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

— Опасно?

— Середка на половине... А та беда, что дождик-то не унимается. Речонки больно подпирают Чусовую с боков: так разыгрались, что на-поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движением головы показав на барку Пашки, которая

теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вытянулись, пропитанные водой лохмотья глядели еще жальче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, которая облепила его тело мокрой тряпицей; Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченком и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так, значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубщики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень-колоду.

— Три аршина три четверти! — крикнул

Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно приготовляясь вступить врукопашную с невидимым врагом.

Прибывавшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

— Нос налево! Постарайтесь, родимые! — кричал Савоська, стараясь вглядеться в мутную даль. — Голубчики, поддоржи корму! Сильно-гораздо поддоржи!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню; несколько досок были сорваны, как соломинки.

— Барка убившая... — послышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды. Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками прича-

ливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек — это были утопающие, которых стремительным течением неудержимо несло вниз.

— Наша каменская барка... Гордей плыл, — проговорил Савоська, всматриваясь в тонувшую барку. — Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!! — не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном

спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рассмотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

— Как же они остались там? — спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

— Ничего, косные снимут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на правой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли,

что эта пещера походит на «цело» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий-Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором — Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий-Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в

четырнадцати, — в счет нейдут.

В двадцати верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправлятся казенное железо, вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа. Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных Amplexus multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata[227] и так далее, а от вогул останется только смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху,

спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтораста верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв. Даже Савоська верил в чудеса Ермака.

— Пять!.. — кричал Порша, прикидывая своей наметкой. — Ох, подымает вода!..

— Придется сделать хватку, — говорил Савоська. — Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься...

— Опасно дальше плыть?

— Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка, — прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

— А что?

— Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшенные бойцы стоят!..

— Молоков?

— Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату сплавщику настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило — тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

— Братцы, утопленник плывет... утоплен-

ник! — крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

— Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел, — заметил Савоська, оглядываясь назад, где колыхалась в волнах темная масса. — Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мултыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

— Нет, придется схватиться, — решил Савоська, поглядывая на серое небо. — Порша! Приготовь снасть!.. Вон Лупан тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

— Двоих выдернули, — объявил Бубнов,

когда лодка причаливала к барке. — Одного я схватил прямо за волосья, а он еще корячится, отбивается... Осатанел, как заглонул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

— Руби снасть! — скомандовал Савоська

Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливанье водой, загорелось огнем.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

— Отчего ты не выпустил каната совсем? — спрашивал я Поршу. — Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

— А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое — мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе — она от воды скользкая делается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.

— Пять аршин с вершком выше межени, — проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

— Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, — разрешил все недоуменья Бубнов. — Простоим долго...

— Типун тебе на язык, Исачка!

— Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

— Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

— Должон быть беспременно... На Чусовой да водки не найти — дудки!.. Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка...

— Всего двенадцать верст, — заметил Савоська, — и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы[228].

— Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом — того, как подопьют — из одной закатывают, как и мы грешные. Куда нас деть-то: грешны, да божьи.

— У меня не разбродиться по берегу, — говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку, — а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

— А как насчет харчу?

— Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

— Ну, уж это тоже на воде вилами писано, — ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая картина, что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

— У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили, — утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на

всех не прихватывало инструменту, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упросили его пустить их обсушиться под палубы.

— Пусти их в самом-то деле, Порша, — просил вместе с другими Савоська. — Не околевать же им... Тоже живая душа, хоть баба.

— А у меня курятник, что ли, барка-то? — ругался Порша.

— Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся, — острил кто-то.

— Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!

— Перестань божиться-то, Порша! Неровен час — подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было

что-нибудь разобрать.

— Лодку у них унесло водой, — догадался Савоська. — Эй, братцы, кто побойчее — в лодку да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-как уговорили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.

— Постарайтесь, братцы! — кричал Савоська вслед. — Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убилась барка-то...

— Успеем! — отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

— Молодцевато плывут! — полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой. — Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.

Пришел Лупан.

— Больно не ладно, Савостьян Максимыч, — проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

— На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и як-

шался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

— Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай, — рассуждал старик. — А отчего нонне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу снились, бабы балуются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

— А как же, дедушко, по деревням люди божий маются еще хуже нашего? — спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой. — Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

— Там своя причина! Земляной горох[229] стали есть — ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен!

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее вглядеться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского челове-

ка иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

— А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? — спрашивал Савоська. — Вода не страшна, да народ-то взбеленится... Наши пристанские да мастерки-то останутся, — только дай им поденную плату, — вот крестьянишки — те беспременно разбегутся.

— Уйдут, — соглашался Лупан. — Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальничек на носу... Уйдут!

— Как же мы останемся без бурлаков? — спрашивал я.

— Да уж, видно, так как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

— А... бунт!! — зарычал Осип Иваныч, меряя глазами собравшуюся толпу. — Ах мошенники, протобестии!

— Бялеты, Осип Иваныч... Нам ждать не доводится! — послышались нерешительные голоса в толпе.

— Что-о?? Как?! — взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов. — Почему... а?! Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, и Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами[230] каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.

— Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! — ругался в каюте Осип Ива-

ныч. — Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали — все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут. Знают варнаки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

— Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? — спрашивал я.

— Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

— Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время...

— И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу убитую барку другая убилась... Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик — и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову

Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел свое «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вечеру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.

— Где вы, черти, пропадали? — накинулся на них Порша.

— На хватке были...

— А шары-то где налили?

— Говорят, на хватке...

— Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?..

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

— Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

— Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

— А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А

барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

— Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

— Порша, мотри!

— Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

— Шкурку променял на водку, а тут и закуска, — отшучивался Исачка. — Только бы Осип Иваныч не узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиде-

лось и конца. С одной стороны, «кондракт», «пачпорты» в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой — до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» — было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности — о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.

— Вам поденные будут платить, — говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

— По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

— Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

— И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!.. Одна битва нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый

сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

— Слышал.

— Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь, парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься[231] к отвалу... Плачет, когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

— А ваша артель не выворотится, Силантий?

— Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

— Этого никто не знает.

— Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурла-

ков.

— Ведь убежали! — встретил он меня.

— Кто убежал?

— Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, бородка клинышком: он всю артель за собой увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

— Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?

— Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

— Силантием, Осип Иваныч. У носового поносного робил с артелью.

— Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела, наконец, и «выворотилась».

— Шесть аршин над меженью! — крикнул Порша, меряя воду.

— Не может быть? Ты не умеешь мерять... — усомнился Осип Иваныч, выхватывая наметку из рук Порши.

— Как вам будет угодно. Осип Иваныч... — обиделся водолив. — Уж если я не умею воду

мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иваныч!..

— Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

— Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч, — докладывал Савоська. — Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

XV

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это был двигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым вершком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по вы-

сокой — пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все по-прежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя: спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти — не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, можно было попасть, но тяжело было

возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов — и тот отказывался от поездки в деревню, хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иваныч больше не показывался к нам на барку.

— Где он пропадает? — спрашивал я у Савоськи.

— У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плёшничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

— Уж куда эта нехристь торопится — ума не приложу! — ругался Порша. — Крестья-

нин — тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка — и та жевала какую-то позёмину, вероятно свалившуюся к

ней прямо с неба.

— И откуда у них что берется? — удивлялся Порша. — Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

— Ты на штыки-то смотри, Порша, — советовал Савоська. — Бабы — они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

— Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовает тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составился некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

— Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, — уверял Порша. — Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный

звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

— Ты что тут делаешь? — закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

— Ах ты, паскуда! Ах, шельма! — вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. — Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрещин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

— Задувай ее, курву, Порша! — крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

— Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! — поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения. — А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плёха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.

— Что вы тут делаете? — спрашивал он.

— Порша Маришку учит, — обязательно объяснял кто-то.

— Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! — кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

— Она штыку украла! — хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

— Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

— Я... я... она украла штыку... — повторял Порша. — Запирается...

— А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:

— Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!.. Я — шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка[232] окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

— Кто тебя научил, говори? — допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять

Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.

— Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

— Гришка с Бубновым идут! — послышался шепот.

— Ну, ступай, черт с тобой! — заканчивает свой суд Савоська. — Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем...

— Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! — просит чей-то голос. — Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил

Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатилась по земле, как выброшенный из окна щенок.

— Наливай ее! — поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. — Ишь притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стая собак грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

— За что он ее бьет? — спрашивал я. — Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

— Да ведь она жена ему, Гришке-то? — удивился мужик.

— Ну так что из этого, что «жена»?

— Жена — значит, своя рука владыка.

Хошь расшиби на мелкие крошки — наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

— Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? — допрашивал Осип Иваныч Исачку.

— Да что тут рассказывать-то; Осип Иваныч, — хвастливо отвечал Бубнов. — Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченком, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спу-

щала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

— Значит. Маришка только вам помогала?

— Выходит, видно, так, — соглашался Бубнов.

— Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?

— Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

— Уж я спустил бы им три шкуры, — ругался Осип Иваныч, — да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

— Я до твоей милости, Осип Иваныч.

— Ну, чего тебе?

— Да вот мы с Гришкой да с Кравченком

пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

— Ну?

— Уж лучше прикажи лычагами наказать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на высидку, тебе от этого не легче будет.

— А как Порша?

— Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили порку тут же на палубе. Всем троим было дано по десяти лычаг.

— Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!.. — кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма. — А то всех к черрту.

— А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч, — говорил Бубнов, поправляя

рубаху. — Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

— С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканальи...

Этот невинный эпизод неудавшегося воровства точно послужил сигналом для погоды, которая, наконец, заметно начала разгуливаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

— Только подождем, как вода спадет на пять аршин, сейчас побежим. — говорил Савоська. — Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

— Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

— Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владай.

Всеми овладело вполне понятное нетерпе-

ние, когда вода, наконец, пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали развертываться почки на березе. Только серые тучи по-прежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недоставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

— Под Высоким-Камнем, сказывают, шесть барок убивших, — рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке. — Да под Печкой две... Страсть господня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся.

— Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! — слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

— Двух смертей не будет, одной не миновать...

— В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

— Уж известно: все от господа. Обнаковенно...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое полстолетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить,

от каких причин произошли крушения и обмеления в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь — от тесноты, пятнадцать — вследствие столкновения судов между собой, пять — при причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с баркам. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших

людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаем, — говорил Савоська утром шестого дня.

— А сколько над меженью воды стоит?

— Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

— На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди, с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вечор заказали, чтобы все было готово к отвалу.

— А сколько народу у нас на барке?

— Человек с сорок пять наберется — не наберется.

— Мало...

— Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была

сидеть у моря и ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли — и мы уплывем, а как уплывем — это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастеровыми, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но велик русский «авось» на воде, может быть, даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стали нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут и мы.

— Ну, братцы, теперь будет работы досыта, — говорил Савоська бурлакам. — Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создава-

ло массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами поставили голубой шатер, затканный всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебристыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один багровый пузырь, начинавший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекшей брови.

— Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки, — пожалел Савоська несчастную Маришку. — Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько

разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мертвым движением перекатывалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачиваний.

— Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойника» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнеслись к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойников».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже «отурился», а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что

и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало несколько «упокойников» и так далее.

— Вот и Кумыш! — послышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избушки и только покачал головой.

— Ни единой живой души во всей деревне нет, — проговорил он.

— На сплав ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва

достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

— С коня долой! — скомандовал Савоська, когда издали послышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались усердные кресты. Народ молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое — и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

— Постарайтесь, братцы... Нос налево! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковом и Разбойником, как под Печкой и Высоким-Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов, и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превраща-

ясь в белую пену. Вся река под Молоковом представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковом заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковом в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее

неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения вовремя перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роковая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение — и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоро-

стью.

— Три убившихся барки... — прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу боец. — И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой, Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дужной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны, и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильней. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на

лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська застыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в клокочущую гряду майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь, как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погибло, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страш-

ной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии каких-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу подымаются по реке клочья пены. Впереди две исковерканные массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдельные кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

— Ох, Пашка не ладно отрабатывает от камня!.. — как-то застонал Савоська, оглядываясь назад. — Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бегает по палубе водолив со своей наметкой. Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

— Шабаш, под Разбойником зарежет бар-

ку! — говорит Савоська, махнув рукой. — Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют других сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две версты промелькнули в пять минут, и впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который подымает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

— Похаживай, молодцы! — покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вышли из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

— О чужую убившую барку Лупан убился, — объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь

можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливает водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убившихся здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро про-

мелькнула мимо нас, оставя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачивали на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати. Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезнованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

— Вон Пашка летит на боец...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать,

пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползла под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасать погибающих.

— Эка страсть, милостивый господь, — шепчет кто-то в ужасе. — Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

XVII

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусо-

вой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического chair a boietz...[233]

— Одначе здорово нонче Чусовая играет! — говорит Бубнов, работавший под Молоковом и Разбойником за десятерых. — Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли каменские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

— Сила не берет.

— Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковом страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

— Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы, — передает Даренка своей подруге Оксе.

— Один?

— Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса — с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попалось несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чегенями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти-шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке — крайне тяжелая и опасная.

— Нам здесь хуже, чем в камнях, — объяснял Бубнов. — Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок — проваландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчет водки здесь свободно...

— Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит... Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одном месте, где Чусовая особенно широко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

— Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! — улыбнулся Савоська, поглядывая на берег. — Ишь как разбирает!

Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камнем.

— Зачем бурлаки смеются над мальчиком? — спросил я.

— Это над парнишком-то?.. А то и смеются, что больно хорошо песню задувает... Ишь какой дошлый!.. Много их по весне здесь распевает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

— Ну, а парнишка тут при чем?

— Его крестьяны из деревни подослали,

чтобы работы себе добыть, ежели барка омелеет... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо — не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены... Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей. [234]

— Вот те Христос, своем глазом видел! — божился Бубнов. — Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси... Пиканники, те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то

отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

— Который бог вымочил, тот и высушил, — говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

— Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? — спрашивал я у Савоськи.

— У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, — отвечал Савоська, — да в остожье[235] и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

— Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его назвали «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

— А тебе черт ли не велел держать правее? — оправдывался рыжий сплавщик. — За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

— Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана!.. — завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

— Чего тут думать: думай не думай, а надо запущать неволю, — решил Бубнов. — Вот мы с Кравченком и пойдем загревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска, длиной сажен в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

— Надо бы подождать косных, — говорил Савоська, — да кабы долго ждать не пришлось...

— Где их ждать! — кричал Бубнов. — Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обыкновенно в «сумлительных» местах плывут по

наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и, таким образом, загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

— Ведь черт его знал, что он тут сидит! — рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. — Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковом, а тут за лягушку запнулись.

— Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответ-

ствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе — необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми

ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходившего на струю, было не легкой задачей; неволя под ногами Кравченки колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.

— Готово! — крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

— Мотри, не пожалей после, — говорил Савоська. — Твое дело не обычное, как раз замерзнешь… Вода вешняя, терпкая.

— Ничего, как-нибудь! — говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У поносных остались бабы, чахоточный

мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке — величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...», и громкое эхо далеко покатилось по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченком поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

— Ишшо разик, навались, робя!! — неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. — Идет барка...

— Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было ма-

ло: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из закоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

— Околевать нам, что ли, в воде?.. — отозвался первым пожилой мужик с длинным, изрытым оспой лицом. — И то умаялись за

день-то...

— Братцы! Еще разик ударьте! — упрашивал Савоська. — По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омелеть.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

— Валяй по другому, Порша! — скомандовал Савосъка, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатилась по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.

— Ну, шабаш, ребятки! — проговорил Савоська. — Утро вечера мудренее. Что буди — будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

— О-го-го-го!.. — гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

— Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.

— Отчего нет огня на берегу? — спрашивал я у Савоськи.

— Погоди, бабы разведут... Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас... Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства; как ром и коньяк.

— Зачем вы не остались у поносного? — спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

— Совестно было... Засмеют бурлаки.

— А теперь как себя чувствуете?

— Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки — трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

— Вода на вершок спала... — со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.

— Что будем делать? — спрашивал я Савоську.

— Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

— А отчего не хочешь сделать разгрузку?

— Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож острой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти, и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом — настоящий праздник.

— Ворот надо налаживать! — кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. — Околели совсем...

— Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

— Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!! — неистовствовал он в качестве предержащей власти. — Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?.. Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

— Мы ворот наладили, Осип Иваныч, — заметил Савоська.

— Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как уса-

дили обратно в лодку и отправили дальше.

— Поедемте в Верею! — предлагал он мне. — Отлично кутнем... Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы, наконец, снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как «в камнях». В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как «в камнях» «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот ка-

торжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть «в камнях», чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других, — одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе.

Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского[236]. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу реки Мулянки, — впадает в Каму ниже Перми, — где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская эпархии (1379–1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажен.) Жители

вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне покатился угодник божий. Но господь, сохраняющий пришельцы (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение: однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынны, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь — самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около Перми весь берег всплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получают в Перми окончательный расчет и спешат пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше — бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурлачина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по себе Черный рынок, как вместилище непро-

лазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшевеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревевшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки — все это красноречивее всяких описаний говорило

за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» — с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение восьмимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа — мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наесться вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом — это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

— Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками, — предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной сторо-

не рынка, ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с налощенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал замечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное с. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель — все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет с хозяев и теперь благодушествовали в свою вольную волюшку. Красные лица и по-

крытые маслениcтой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и чаихи.

— Расчет, видно, получили? — спросил я Савоську, усаживаясь к столику.

— Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат... Ей-богу!.. Вот хошь у Степаньки спроси...

— Удержатся, не удержатся до послезавтра, — ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

— Нет, я зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остатошные деньги все домой понесу...

— Больно много, пожалуй, не донесешь...

— Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хошь сейчас икону со стены сниму... А вы, барин, видели Осипа-то Иваныча нашего?

— Нет.

— Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и таку компанию завели — разливанное море. Всякого водкой накачивает, только пей. Я, грешный человек, впервой разрешил у

него: ошарашил-таки стаканчика три. Водка не водка, а такое вино забористое... Любит попировать наш Осип Иваныч!

— Да ведь нужны деньги, чтобы пировать?

— На-вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разе Осип-то Иваныч без рук или без глаз! Он каждый раз уйму денег заворачивает со сплаву...

— Кажется, жалованье у него небольшое?

— Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разе караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней, — продолжал Савоська: — все та же музыка... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа — им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, о поди усчитай-ка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно! Ведь теперь омелевшую барку на-

до сымать, надо людей — вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают — ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды — опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут, — с кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли из-за воды, рабочим должны поденное платить — опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги — как вешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недодал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал — опять тебе прибыль... Так? А разе бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покупками, а сам все пил стакан за стаканом нево-

образимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

— Ты бы уж лучше водку пил! — посоветовал я ему.

— Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй, душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашей с лестницы спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других дома как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

— Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

— Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными наливками, лица сделались еще краснее и по-

крылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

— А ты любишь песни, барин?.. — неожиданно спросил Савоська, точно просыпаясь.

— Люблю. А что?

— Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак[237] я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савоська поет...

Приложив руку к щеке. Савоська затянул богатейшим грудным тенором:

Ох, с по горам-горам,
Да с по высокием —
Там молодец гулял...

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно вылилась из мужицкой души, как льются с гор ве-

сенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказывалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце. Вся эта окружающая нас грязь, эти потные пьяные лица — все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света...

— Да откудова ты, леший тебя задери? — спрашивал мужик с встрепанной головой, начиная трясти Савоську за плечо. — Этакой черт... А?..

— Нет, не могу больше... — глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню. — А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандальной наливки.

— А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин... — заговорил он, точно стараясь что-то припомнить. — Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододви-

нувшись ко мне, проговорил сдержанным полушепотом:

— А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей сделался?

— Нет.

— Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! — тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

— Как порешил?

— Да так: взял обух, да живого человека и давай крошить... Верно!.. Только давно это было, годов с двадцать тому времю быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомню хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил плавать на барке. У нас весь род сплавщики.

Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя, Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только карахтером этот Селифон был оченно уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку к дяде. Делишко маленькое было. У нас в допрежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно, что отрубил. Поехал я на Утку, приезжаю, сделал, что наказывал отец, — надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на пасху...» Ну, я было туда-сюда, — нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось — дядю-то Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да старушки у нас все справляют,

что следовает. Хорошо. Вот на первый день пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следовает по порядку, а тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожёг первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткины-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как матерый волчище, а сам опять свое: «Надо по-

звать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах, — продолжал Савоська. — Я о нем раньше-то слыхивал много, а видать не видывал. Федька-то был с... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за барином жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девка, а приказчик взял ее себе в плёхи силком. Тогда ведь этакие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и проживал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристаносодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначалу жил, как следовает, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отворяй ворота!» Отворили. «Не хочу, разбирай забор!» Помнутся, помнутся, по-

ругаются, а делать нечего — и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож острый: Федьку-то он примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника — это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах — чистяк-парень, одно слово. Высокий, в крыльцах широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему под-

носит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет Федьку по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька — куды тебе! — как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могутный из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу расстервенился, да как брошусь в кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню,

как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо, — в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, барин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом — так Федька и покатился по земле... Воротился я после этого самого случая домой, — продолжал Савоська. — Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазнило[238] Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и забыл об ём, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла — еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любуется... Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы прожили, уж мальчонка сынишка

у меня стал подрастать... Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть — как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку — и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя наложить: больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие делают, — ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» — «Нигде у меня не болит», — ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожгет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилица я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на ум... Ну, покаялся я Аннушке в своем грехе, усмехнулась она и говорит: «Это за него меня

господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в кабак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предо мной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подаяние посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жену у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду. Старики-то которые да старухи и осу-

дят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе-горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

— Ходил я к одному старцу, советовался с ним... — глухо заговорил Савоська. — Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости... Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, покуда ты наказание не примешь... Ступай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды боле милостивы стали — пожалуй, без наказания меня совсем оставят... Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в ...ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидировала свои дела, заплатив своим акционерам

по пять копеек за рубль.

Золотуха

(Очерки приисковой жизни)

I

С широкого крыльца паньшинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое после обеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Паньшинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксиньи.

Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безымянные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя такие горные речки тысячами; речка Панья, на которой располо-

жился Паньшинский прииск, впадает в Туру, предварительно сделав сотни самых мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий лог, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками; по самому дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой, ярко-зеленой осокой, а теперь берега ее совсем обнажены, и только кой-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Паньи, на протяжении двух верст, изрыты на все лады, точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще, вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно-свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота; желтые валы пе-

ремывок, т. е. промытого песку, чередуются с глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами ширфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прудками, которые Панья образовала там и сям по своему теченью. Мутная вода этих прудов, при помощи канав и деревянных желобов, проведена к самым далеким частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску; по ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы, в валяных шляпах и фуражках, а около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Панье загородила невысокая каменистая горка, виднелась довольно слож-

ная золотопромывательная машина; издали можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с машиной весело попыхивала паровая машина; из высокой тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой.

По бокам прииска, под прикрытием дремучего ельника, лепились старательские балаганы и землянки; кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темно-зеленого

моря, поднимались горы все выше и выше; самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта картинка прииска была вставлена в темно-зеленую раму дремучего хвойного леса, заполонившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние поседевшие ели; воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели, и, широко раскинув свои могучие ветви, светло-зелеными шапками поднимались над всем лесом старые лиственни. От этого непролазного угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокаградусные морозы, ни трехаршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу.

— У нас работа, как вода в котле кипит, — самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска. — Человек триста работают... Да. Усим хлиб даемо... А сколько пользы государству приносим? Хе-

хе!.. Золото... Всем золото треба, все его шукают... пхе! А оно у нас под носом... Пхни рылом землю, вот и золото.

Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свиными глазками, носом луковицей и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском и по толстым отвислым губам блуждала самодовольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу — покрыто мраком неизвестности, а сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке недоставало одного пальца.

Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по четыре раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где

работали красивые девки. До женского пола Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам, бывало, торчит, как индюк, около баб и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жмурился, как закормленный кот, и приговаривал с неоставлявшим его никогда юмором: «А ты, Апроська, побереги руку-то, глупая: пригодится еще».

Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась собственно контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хра-

нили следы топора, которым с грехом пополам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края настланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и таращился клочьями, усиками и колючей щетиной; когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплявшиеся из расщелявшихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было защищено лапистыми ветвями старой ели; солнечные лучи, проходя через живую сетку из зеленых игл, окрашивались особенным, желто-зеленым цветом, точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота.

Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина че-

ловеческого рода. Сам Бучинский прибавил от себя специально хохлацкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были настланы доски и прикрыты толстым серым сукном; это и был письменный стол, около которого торчали два колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка, да так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штуцерных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под пастилок Виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевши-

ми перьями и тому подобной дрянью, которая неизвестно для чего и как забирается на письменные столы. Кипы счетов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца; несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками.

В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати; на одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный сундук, а над постелью, на развешенном по стене тюменском ковре, в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двустволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скарб.

II

Мне пришлось провести на Паньшинском прииске в обществе Бучинского несколько

недель, и я с особенным удовольствием вспоминаю про это время. Для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски на Урале, т. е. старатели, или, как их перекрестили по новому уставу, в золотопромышленности, — золотники.

— Старатели... пхе!.. Хочется вам с этими пьяницами дело иметь! — не раз говорил мне Бучинский — он никак не мог понять, что меня могло тянуть к старателям. — Самый проклятый народ... Я говорю вам. В высшем градусе безнравственный народ... Да!.. И живут как свиньи... Им только дай горилки, а тут бери с него все: он вам и золото продаст, и чужую лошадь украдет, и даже собственную жену приведет... Я вам говорю!..

— Мне кажется, что о старателях много лишнего говорят.

— Кажется?! Тэ-тэ-тэ!.. От-то глупая скотына этот Бучинский! Ха-ха... — хриплым смехом залился Бучинский, причем вместо глаз у него образовались две жирные складки кожи. — Я теперь все понимаю... даже до капли все! Пссс... А все никак в свою глупую башку взять не мог. Да вы бы лучше прямо до меня

обратились, и я устроил бы все, как ваше сердце желает... Хе-хе!.. Вот у Зайца смачная дивчина есть, у Сивы... Знаете «губернатора»? Тэ-тэ-тэ... Да вы ж и без меня успели зацепить лихую дивчину! По глазам вижу... да. А я вам говорю по совести: на всем прииске нет лучше губернаторовой Наськи! Да вы ж наверно раньше меня все это знаете?..

Разуверять Бучинского в чистоте моих намерений было напрасным трудом: он принадлежал к числу тех заматерелых скептиков, которые судят о всех по самим себе.

Прииск вблизи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, перемывки, выработки, ширфы, канавы, кучи песку и галек — все это напоминало издали работу сумасшедшего, который не стеснялся осуществлением своих диких фантазий и то, что вырывал в одном месте, сваливал в другом. Нужно было пройти прииск из конца в конец, и только тогда «открывался в этом беспорядке порядок» и вся масса затраченного человеческого труда освещалась разумной мыслью. Точно так же и относительно старателей. Главное впечатление производила необыкновенная пестро-

та собравшегося здесь народа. И кого-кого только не было на прииске: мастеровые с горных заводов: староверы из глухих лесных деревень по р. Чусовой; случайные гости на прииске — вороняки, т. е. переселенцы из Воронежской губернии, которые попали сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги на далекий путь в Томскую губернию; несколько десятков башкир, два вогула и та специально приисковая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, на всем пространстве от Урала до Великого океана. Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть порождение бестолковой приисковой жизни и составляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит раз взглянуть на эти типичные лица и на живописные их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь по приискам.

На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда на прииск со всех концов России одним могучим двигателем — нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих; но, вглядываясь

внимательнее в кипучую жизнь прииска, мало-помалу выясняешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и, наконец, рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь. Эта руководящая нить для уразумения приисковой жизни заключается в понятии русской артели, которая нашла себе здесь глубокое применение. Без артели русский человек — погибший человек; поэтому артель живет на всех вольных промыслах, в тюрьмах и в монастырях; даже разудалая вольница, ничего не хотевшая знать, кроме своей вольной волюшки, — и та складывалась в разбойничью артель. Если с испокон веку русский человек работал артелью и грабил артелью, отсиживался по тюрьмам и острогам артелью, то такое, может быть, слишком широкое применение артельных начал вносило в них, на каждый специальный случай, специальные применения в форме и содержании. Старательская артель, в которую, если позволено так выра-

зиться, выкристаллизовалась приисковая жизнь, решила ту же задачу, какую решают все русские артели, т. е. как при наличности minimum'а благоприятных условий, не только ухитриться просуществовать, но еще выполнить maximum работы.

Было светлое июльское утро, когда я в первый раз спускался от конторы на прииск. Солнце едва показалось из-за линии леса и в низких местах стояла еще ночная сырость, а кой-где сохранившиеся клочки зеленой травы были покрыты каплями блестевшей росы. Со стороны леса доносился нестройный птичий концерт; залетные гости короткого северного лета точно хотели удесятерить его радость своими веселыми песнями. В лесу еще стояла ночная прохлада; около балаганов огни едва дымились; по дороге мне попалось несколько таратаек, нагруженных песком. Лошадью правили босоногие мальчишки-подростки, а на одной таратайке кучером сидела курносая рябая девка в красном платье и в желтом, высоко подтыканном сарафане. Я миновал целый ряд глубоких ширфов, при помощи которых производится разведка

золота, и направился в ту сторону, где происходила добыча золотоносного песку, т. е. к выработке. Из выработки в одном месте выставлялась голова гнедой лошади, а в другом — широкая лысина с остатками мягких русых кудрей. Выработка имела форму глубокой четырехугольной ямы с выемкой на одной стороне; по этой выемке осторожно поднялась гнедая мохноногая лошадка с нагруженной тележкой.

— Кузька! мотри не балакай с бабами-то подолгу, — крикнул вслед выезжавшей тележке среднего роста широкоплечий старик, лысину которого я заметил еще издали.

Кузька, подросток лет четырнадцати, с бойким загорелым лицом, только взмахнул концом веревочных вожжей и трусцой направился к ближайшему прудку, около которого виднелись два вашгерда.

— Бог на помочь! — поздоровался я со стариком, который рукавом старой пестрядевой рубахи вытирал свое красивое, широкое лицо, покрытое каплями крупного пота.

— Мир дорогой! — весело отозвался старик. — Иди в выработку-то, лопатка и на твою

долю найдется... Вон Никита умаялся с утра-то с кайлом играть.

Молодой мужик, длинный, нескладный, с острыми плечами и неприятным худым рябым лицом, только тряхнул спутанными волосами и опять принялся долбить кайлом осыпавшийся слой мокрого песку. Мужики были одинаково одеты в синие пестрядевые рубахи и порты, работы одной хозяйки; на ногах были лапти. Дно выработки было покрыто слоем липкой грязи, в одном углу стояла целая лужа мутной воды; на краю лежал свернутый чекмень и узелок с краюхой черного хлеба. Старик закурил коротенькую трубочку, пока я осматривал выработку, и принялся неспешно выбрасывать железной лопаткой скопившиеся турфа, т. е. не содержащую золото землю, наверх, прямо на деревянные полати, настланные из досок у самого края выработки. Кузьма успел свезти пески на вашгерд и теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и вывезти их к ближайшей свалке.

— Что, бабы благодарят за гостинец? — спрашивал старик.

— Доводить пора, тятька...

— Без них знаю, что пора. Никита, ты покедава поковыряй здесь, а как я доведу золото, паужинать будем. Вот барину охота поглядеть, как мужики золото добывают. Ну, барин, пойдем к грохоту, старый Заяц все тебе покажет, как на ладонке.

— А тебя как звать? — спрашивал я.

— Меня-то... Да Зайцем добрые люди зовут; это вот мои зайчата, а у грохота сама Зайчиха. Теперь понял? А я тебе покажу все, как есть...

Только когда Заяц вылез из своей выработки, я хорошенько рассмотрел его атлетически сложенную фигуру. Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу. Заметив мой пристальный взгляд, старик с добродушной улыбкой проговорил:

— Что на меня глядишь, барин?

— Да так смотрю; здоровый ты из себя очень.

— Здоровый... Какое уж мое здоровье, барин! Был когда-то Заяц, а теперь одна шкурка

осталась... Да. Вот где моя погибель сидит! — проговорил старик, указывая на свои ноги: — тут Зайцу и конец. Ну, куда он без ног-то, барин?

— А что, разве у тебя болят ноги?

— Я тебе вот что скажу, барин: как теперь станет весна али осень, вода будет ледяная — шабаш! Как поробил твой Заяц в выработке, пришел в балаган да лег, а встать и невмоготу. Другой раз недели с две Заяц без работы лежит, потому ноги, как деревянные.

— Простудил где-нибудь?

— А слыхал про завод Тагил?

— Как не слыхать.

— Ну, так в этом самом Тагиле есть Медный рудник, вот Заяц там и ножки свои оставил... Это еще когда мы за барином были, так Заяц в огненной работе робил, у обжимочного молота. А в те поры был управителем немец, вот Заяц согрубил немцу, а его, Зайца, за задние ноги да в гору, в рудник, значит. Думал, что оттедова и живой не вылезу... По пояс в ледяной воде робили. Ключи там из горы бегут, студеные ключи.

От выработки до вашгерда было сажен

двести с небольшим. У низенькой плотины стоял деревянный ящик длиной аршина два; один бок этого ящика был вынут, а дно сделано покатым, в несколько уступов. Это была нижняя часть вашгерда, или площадка; сверху она была прикрыта продырявленным железным листом в деревянной раме — это грохот. Площадка и грохот составляли весь нехитрый прибор, на котором производилась промывка золотоносных песков, на ученом языке горных инженеров этот прибор называется вашгердом.

— Тоже без снасти и клопа не убьешь, обязательно, — объяснял мне старый Заяц. — Не больно хитро устроено, а в шапке золота не намоешь.

У вашгерда работали три женщины. Старшая, Зайчиха, высокая старуха в темном платке, набрасывала на грохот пески, которые Кузька сваливал около вашгерда. Две молодых бабы размешивали эти пески по грохоту маленькими железными лопаточками, скребками. По деревянному желобу из прудка была проведена к грохоту вода и падала на песок ровной струей. Когда песок смешивался

с водой, частицы глины и мелкого песку относились струей, гальки оставались на грохоте, а золото вместе с черным песочком, шлихами, падало сквозь отверстие грохота прямо на площадку, где и задерживалось маленькими деревянными валиками. Ход всей операции был крайне незамысловат, и достаточно было посмотреть на него в течение пяти минут, чтобы усвоить вполне.

— У меня и семья вся налажена для прииску, — хвалился Заяц, указывая на баб. — Вот молодайка с Парашкой как поворачивают, того гляди грохот изломают.

— Ну, будет тебе зубы-то точить, — заворчала Зайчиха. — Пристали без того...

— Я правду говорю, — оправдывался старик. — Ну, девоньки, еще маленько навалитесь — и доводить.

Молодая высокая девка с румяным скуластым лицом, которую Заяц назвал Парашкой, по всем приметам принадлежала к семье Зайцев. То же завидное здоровье, веселый взгляд больших карих глаз, приветливая улыбка на красных губах — все говорило, что Парашка была дочь старого Зайца и его баловень. В

своем ситцевом розовом сарафане и в такой же рубашке она выглядела настоящей приисковой щеголихой; подвязанный под самые мышки передник плохо скрывал ее могучие юные формы. Неправильное лицо было красиво молодой здоровой красотой, выращенной прямо под открытым небом, как растут безымянные полевые цветочки, которыми зеленая трава обрызнута точно драгоценными камнями.

— Это невеста Фомки беспалого, — говорил Заяц, указывая на дочь. — Вот в Филиппов пост свадьбу будем играть. Фомка-то давно на нее губы распустил...

Молодайка, жена Никиты, не принимала участия в общем разговоре, шутках и смехе; как только последние лопатки песку были промыты, она сейчас же бегом убежала в сторону леса, где стоял балаган Зайца. Бледное лицо молодайки с большими голубыми глазами мне показалось очень печальным; губы были сложены сосредоточенно и задумчиво. Видно, не весело доставалась этой женщине приисковая жизнь.

— Ишь, как Лукерья побегла! — удивлялся

добродушнейшим образом вслед своей снохе старый Заяц. — Там у нас в балагане еще два зайчонка есть, так вот матка и бегает к ним с работы. Старатели будут, как подрастут.

— А велики?

— Одному парнишку, старшенькому, около зимнего Николы два года будет, — отвечала Зайчиха. — А меньшенький еще матку сосет, всего по третьему месяцу... Здесь на прииске и родился.

— С кем же ребенок остается в балагане, пока мать работает здесь?

— С кем ему оставаться, барин... Лежит себе в зыбке, и все тут.

— Да ведь его комары заедят?

— Бывает и такой грех, — соглашался Заяц, вынимая из-под вашгерда щетку и небольшую железную лопаточку: — И комару надо летом чем-нибудь питаться. Ну, гляди, барин, сколько у Зайца золота напрело!.. Сейчас доводить стану.

Старик уменьшил струю, падавшую на грохот, и присел на корточки к площадке. По дну площадки темными полосами расположились шлихи, а в них светлыми искорками

желтели крупинки золота. Старик, осторожно засучив рукава, повел щеткой вверх по дну площадки и взмутил воду; струя подхватила часть черного песочка и унесла его с площадки. С каждым движением щетки шлихов оставалось все меньше и меньше, а через десять минут работы в воде блестело одно золото. При помощи лопаточки Заяц осторожно собрал его все и проговорил:

— Будет не будет ползолотника?

— Мало?

— Из-за хлеба на воду заробим. Потому считай: за золотник нам в конторе дают рубь восемь гривен, а за ползолотника приходится девять гривен... Так? Ну, а мы робим самшесть, прикинь, сколько на брата придется в полдни.

— По пятиалтынному.

— А мы эту самую битву примаем с самого солновсхода, значит с двух часов по-вашему... Клади еще двух коней. Пробилось наше золото, видно, чтобы ему пусто было семь раз.

— А раньше лучше шло золото?

— День на день не приходился... В другой раз и два золотника падало за день на грохот,

а то и четь золотника.

Старик высыпал золото в сухую тряпочку, высушил его в ней, а потом высыпал в круглую железную кружку с приисковой печатью.

— Бабы, зовите паужинать Никиту. Барин, хлеба-соли кушать с нами.

III

Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека — его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлось все-таки артель-семья, как, например, Зайцы.

Главную массу приисковых рабочих со-

ставляли горнозаводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ни чьей головы, а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.

— Прежде, как за барином жили, — рассуждал старый Заяц, — бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели... Потому известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять — где робило сорок человек теперь ставят тридцать, а то двадцать — вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками... Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют... И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо

сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон, погляди, бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом чуть подрос — садись на тележку, вези пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды — оно тяжело, чего говорить, а все мужик, мужик и есть — а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски...

Мастеровые — народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие... Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы коси-

лись и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.

— Ты чего это к кержакам к нашим повадился? — фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.

— Да так... Посмотреть, как работают.

Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:

— А они тебя боятся... Думают, что ты не на счет ли золота досматриваешь. Право... Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин про-

стой, хороший... Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала. Ну, а брат-то мой... Видал, чай?

— Это с рыжей бородой?..

Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:

— Нет, это так... кум. Черт его знает, зачем шатается...

Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха-кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча. Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком, точно свежий блин на каленой сковороде, что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конто-

ре, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «От-то пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаза и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.

— Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, — обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, т. е. с раскольниками.

Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом, рядом с сестрой, казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек да широкие губы

складывались в неопределенную, вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.

— Это Гараська-то бросовый?! — удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. — Да я вам скажу, дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам. Дас.

— Да ведь он же не может работать, как другие старатели?

— Работать... что такое работать... пхэ! Лошадь работает, машина работает, вода работает... так? А Гараська — золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, — задумчиво прибавил Бучинский: — я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу...

— Почему так?

Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся:

— Вот вы живете неделю на прииске и еще год проживете и все-таки ничего не узнаете, — заговорил он. — На приисках всякий на-

род есть; разбойник на разбойнике... Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки и сейчас на большую дорогу. Ей-богу... А Гараська... Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.

Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.

— А вам что смотреть у нас? — как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от контроля шли к его вашгерду. — Робим, как все другие...

Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить зага-

дочного парня в полной чистоте своих намерений.

Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.

— Ну, теперь видел? — коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.

— Отчего вас работает всего четверо? — спросил я. — Ведь неудобно...

— Кому как, а нам и так хорошо.

Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключе-

нием того, разве, что кум, наконец, расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник сводить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнику, но потом уже расслышал, что это была песня.

— Ишь, развылась! — строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.

— Кто это поет?

— Да Гараськина Марфутка каку-то плачу все воет... Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то, чердынская выходит, так к ненастью и тоскует...

— А другая девка — заводская?

— Это Ховря-то? А черт ее знает, откудова она... Какая-то бесчувственная, Христос с ней!

Я долго вслушивался в «плачу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и в самом мотиве «плачи»

было столько безысходной тоски, глухой жалобы и нежной печали!..

Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
С по лугам, лугам зеленьим
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-покруту родимая...
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, мое родимое!»

IV

Кум угадал; действительно, Марфутка не даром разливалась в своем плаче — вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «заморосил» мелкий дождь «сеночной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водою и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотре-

ли друг на друга как-то неприязненно, точно это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колено в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.

Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке

Зайца я не заметил старика. Никита работал с каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубахе и в рваном татарском азяме; сплющенная, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.

— А где старый Заяц? — спросил я, подходя к выработке.

— В балагане лежит, — отвечал Никита.

— Обезножил старый Заяц, — прибавил мужик, не спуская с меня своих больших черных глаз. — А я вот на его место попал...

У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазками, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку: пока я разговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно, доканчивая давешний разговор.

— Нет, Матвеевна, не тово... не ладно...

— Сделай ты ладнее, сват Сила.

— Нет, не ладно, Матвеевна...

— Ну, наладил одно: не ладно, не ладно. А кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю...

— Да ведь Естя-то откуда ваш?

— А кто его знает... Спроси сам, коли надо...

— Видел я его даве: орелко... Нет, Матвеевна, не ладно. Ты куда, барин? — спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда. — На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвеевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повихнула, надо полагать.

Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько раз вслух проговорил: «Нет, Матвеевна, не ладно... я тебе говорю: не ладно!»

— Что не ладно-то, дедушка? — спросил я.

— Как что?.. Орелка-то видел? Ну, и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит,

мне дочь... да и Паранька-то девчонка молодая. Чужой человек в дому хуже хвори... Теперь понял? Где углядишь за ними... Нет, Матвеевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.

— «Губернатору» наше почтение!.. — кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.

— Будь здоров, Евстрат! — добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу. — Эх, вода одолела прииск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило дён на пять... верно.

— Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?

— Губернатором-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонко доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.

Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо: шлепая по лужам, губернатор несколько раз передвинул шляпу на

голове и проговорил не выходившую из его головы фразу: «Нет, Матвеевна, не ладно!..»

Золотопромывательная машина вблизи представляла из себя подъезд на высоких сваях, главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, и затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупицы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединиться в артели, а предпочитала поденщину.

Я пришел к той части машины, где на отлогом деревянном скате скоплялись шлихи и золото. Два штейгера в серых пальто наблю-

дали за работой машины; у стены, спрятавшись от дождя, сидел какой-то поденщик в одной рубахе и, вздрагивая всем телом, сосал коротенькую трубочку. Он постоянно сплевывал в сторону и сладко жмурил глаза.

— Где бы мне увидать смотрителя машины? — спросил я у штейгеря.

— Да вон он торчит... Точно филин, прости господи! — сердито отозвался один из штейгерей, движением головы указывая наверх.

Я поднял голову и несколько мгновений остался в такой позе неподвижно. Наверху, облокотившись на перила подъезда, стоял небольшого роста коренастый и плотный господин в осеннем порыжелом пальто; его круглая, остриженная под гребенку голова была прикрыта черной шляпой с широкими полями. Он смотрел на меня своими близорукими выпуклыми глазами и улыбался. Нужно было видеть только раз эту странную улыбку, чтобы никогда ее не забыть: так улыбаются только дети и сумасшедшие.

— Да ведь это Ароматов, Стратоник Ермолаич?.. — проговорил я, наконец.

— Здравствуйте, domine! — весело отозвал-

ся господин в осеннем пальто и как-то на отлет приподнял свою широкополую шляпу, причем открылся громадный выпуклый лоб и широкая лысина во всю голову.

Через минуту я имел удовольствие пожать небольшую, всегда холодную руку моего старого знакомого.

— Да ведь я вторую неделю живу на прииске, — говорил я. — Как же это мы с вами не встретились до сих пор?

— Очень пгосто, domine... У нас с Бучинским контгы — вот и не встгетились, — добродушно отвечал Ароматов, не выпуская моей руки. — Пгедставьте себе... Однажды Бучинский идет мимо машины, я и кгичу ему: «Фома Осипыч, зайдите ко мне на минутку...» А он мне: «Стгатоник Егмолаич, хлеб за бгюхом не ходит». А я ему: «Извините Фома Осипыч, я не знал, что вы хлеб, а я бгюхо...» Ну, и газошлись... Ну, да это все пустяки... А мы с вами давненько-таки не видались, domine?.. Позвольте, где это в последний газ я вас встгетил... Та-та-та!.. Помните о. Магка? Ведь у него? Да, да...

— Да на прииски-то вы как попали?

— Волею неисповедимых судеб служу специально златому тельцу втогой год... Как жес!.. Некотогым обгазом, споспешествуем пгеуспеяниям отечественной пгомышленности, а если пегевести сие на язык пгостых копеек — получаем двадцать гублей жалованья.

Широкое добродушное лицо Ароматова при последних словах точно расцвело от улыбки: около глаз и по щекам лучами разбежались тонкие старческие морщины, рыжеватые усы раздвинулись и по широким чувственным губам проползла удивительная детская улыбка. Ароматов носил окладистую бородку, которую на подбородке для чего-то выбривал, как это делают чиновники. Черный шелковый галстук сбился набок, открывая сомнительной белизны ситцевую рубашку и часть белой полной шеи.

— Да, я устгоился по-амегикански и живу настоящим янки, — прибавил Ароматов как бы в ответ на мой осмотр. — Да вот пойдемте в мою землянку, там все увидите.

Если вообще на Руси странных людей непочатый угол, то, без всякого сомнения, Ароматов принадлежал к числу самых стран-

ных, начиная с его детского выговора и сумасшедшей улыбки. Я с ним познакомился совершенно случайно, в глухой деревушке Зауралья, куда нас загнала жестокая зимняя метель. Как теперь вижу Ароматова, как он вошел в избу в волчьем тулупе и без церемоний заговорил своим комически возвышенным слогом: «Извините, если я помешаю вам своим пгисутствием... Но законы пгигоды стоят выше условных пгиличий. Полягным льдам угодно было скопиться в устьях Оби, обгазовалось ггомадное холодное течение, понеслась пугга, и вот мы, nolens-volens, должны познакомиться. Да, человек является только ничтожной единицей в агифметических выкладках пгигоды, но он все-таки не дитя слепого случая.»

«Ты дхнешь — и двигнешь океаны,
Гечешь — и вспять они текут.
А мы?.. одной волной подъяты,
Одной волной поглощены», —

с неподдельным пафосом продекламировал Ароматов, не вылезая из своего тулупа.

— Имею честь гекомендоваться: сопгичислен к лику святых, к колену левитову, — при-

бавил Ароматов совершенно другим тоном и, в первый раз, улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой. — А теперь пгинадлежу к взыскующим ггада.

Кому случалось по целым суткам отсиживаться от зимней метели где-нибудь в мужицкой избе, тот поймет, что Ароматов был для меня настоящей находкой. Он проговорил в течение десяти часов без умолку, пересыпая свою речь цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля и Спенсера; несколько раз принимался декламировать стихи Некрасова и передавал в лицах лучшие сцены комедий Островского и Гоголя. Как актер, Ароматов был замечательно хорош, но его погубила «проклятая буква р»; колоссальная память и начитанность придавали его разговорам живой интерес, и, что всего занимательнее, он владел счастливой способностью не только схватить, но и передать с замечательным искусством смешные стороны в людях и животных. Пока мы дожидались конца метели, наша изба превратилась в сцену: Ароматов скопировал своего ямщика, старуху, которая пряла нитки, кошку, лакавшую молоко;

успел показать, как пьет курица, клюют ерши, как дерутся собаки, представил в лицах кошачий концерт и т. д. Бабы и ребятишки смотрели на Ароматова с разинутыми ртами, а когда он перешел к опытам чревовещания — в ужасе попятились от чудного барина и начали даже креститься.

Во второй раз я неожиданно столкнулся с Ароматовым на фабрике одного из уральских железных заводов, где он фигурировал в качестве простого рабочего. Но тяжелый фабричный труд оказался Ароматову не по силам, и в следующий раз я встретил его уже совершенно в новой роли. Мне нужно было взять из ...ского волостного правления какую-то справку. Захожу в волость и вижу целую толпу людей, которая окружила стол и хохотала, как сумасшедшая. Проталкиваюсь вперед, смотрю, за столом сидит Ароматов и пишет обеими руками: одной — отношение становому, другой — какой-то протокол исправнику. В последний раз мы виделись с Ароматовым у о. Марка; Ароматов служил за псаломщика, пел на клиросе, читал апостол, подавал кадило. Он объяснил это последнее свое превра-

щение законом наследственности.

— Вот и моя хатка, — проговорил Ароматов, когда мы подходили к какой-то землянке. — Живу, как амегиканец... Питаюсь солониной, читаю газеты. Только вот никак не могу пгивыкнуть жевать табак...

— Да для чего вам его жевать?

— Как для чего, domine? Вгемя — деньги, а на кугение табаку сколько его напгасно уходит.

Вход в землянку походил на нору; узкое окошечко из разбитых стекол едва освещало какую-то нору, на которой валялась уже знакомая читателю шуба, заменявшая Ароматову походную постель, столик из обрубка дерева, полочка с книжками и небольшой очаг из булыжника. Трубы не полагалось, и поэтому все кругом было покрыто толстым слоем сажи.

— Живу, как индеец, — объяснял Ароматов, любезно предлагая мне место на волчьей шубе. — Omnia mea mecum porto... Конечно, сначала тгудновато гасстаться с некотогыми пгедгассудками, но энеггия пгежде всего. Это ведь только кажется, что мы не можем обой-

тись без гогячего обеда, чистого белья, светлого помещения — я испытал на себе.

— Все это предрассудки по-вашему?

— Совегшенно вегно...

Очевидно, Ароматов находился в периоде американизма и бредил жизнью настоящего янки; на одной стене была повешена четырехугольная картонка, на которой готическими буквами было написано: «Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — много потерял, энергию потерял — все потерял». На другой такая же картонка с другой надписью: «Time is money». На полочке с книгами я рассмотрел несколько разрозненных томов Добролюбова и Белинского, папку с бумагами и маленький томик рассказов Бret-Гарта.

— Все-таки, Стратоник Ермолаич, как вы на прииски попали? — спрашивал я, когда Ароматов усердно принялся разводить на своем очаге огонь, чтобы угостить меня вновь изобретенным им кушаньем, из провесной свинины с какими-то травами и кореньями.

— Да я же служил в гогном пгавлении в...ге десять лет, — объяснял Ароматов, напол-

няя свою конуру густым едким дымом. — Как же... Имею чин титулягного советника. Помните у Некгасова:

Он был титулягный советник,
А она — генегальская дочь...

Ароматов речитативом пропел до конца все стихотворение и опять принялся раздувать огонь.

— Отчего же вы оставили казенную службу?

— Да не пгиходится... Пока служил в пгавлении — все было хогошо, а как меня командиговали на казенные золотые пгомыслы — все и пошло пгахом... Мне выпадало гедкое счастье набить кагманы... Да! На гысаках бы тепегь катался, денег хоть лопатой ггеби... Ну, не вытегпел. Нагод ггабят на пгиисках, я и донес в гогный депагтамент, а меня сейчас по шапке.

Ароматов подробно рассказал, как он попался в настоящую «золотую кашу». На казенных приисках шла в то время большая игра: не воровал только тот, кому лень было протянуть руку. Рвали страшные куши и дележка

казенного совершалась в вопиющих размерах. Система этого хищения была выработана с замечательным искусством. Так как устав о золотопромышленности запрещал вести промывку золота старательским «хищническим» способом, то она производилась поденщиной... на бумаге. В сущности, все промытое золото добывалось теми же старателями и сдавалось ими в приисковые казенные конторы по 1 р. 70 к., а в книгах все было разложено на поденщину. В результате правительству каждый золотник, намытый этим казенным способом, обходился средним числом в 3 1/2 — 4 1/2 рубля. Разница, которая получалась между платой старателям и показной ценой, достигала почтенной цифры — 2, 3 рубля с каждого золотника. Сколько было нажито на этой незамысловатой операции, покажет приблизительный расчет: на казенных ...ских промыслах добывалось в год золота до тридцати пудов. Воротилы казенных золотых приисков, считая прибыли с каждого золотника по 2 р., с тридцати пудов средним числом, за здорово живешь, получали ни больше, ни меньше, как двести тысяч рубликов в год. К этому

нужно еще прибавить оклады жалованья чиновникам, затем суммы на различные командировки, разведки и комиссии; наконец, практиковался самый простой способ обкрадывания мелких служащих: маленькая чинушка расписывалась в получении двадцати пяти или тридцати рублей жалованья, а в действительности получала всего десять, пятнадцать рублей. Наконец, записывалось жалованье мифическим служащим, существовавшим только, на бумаге; спекулировали на провианте, который запасался рабочим, и т. д. Одним словом, велась крупная игра вкруговую, где «рука руку мыла». Донос какого-то Ароматова, конечно, канул в реку забвения, вместе с его автором.

— А на частных промыслах разве лучше? — спрашивал я Ароматова, который теперь сидел перед огнем на корточках и кулаком протирал глаза; я, в ожидании американского кушанья, тоже задыхался от густого дыма, и принужден был несколько раз выходить из землянки, чтобы дохнуть свежим воздухом.

— На частных пгомыслах, по кгайней меге,

есть впегеди выход, — объяснял чудак. — Погодите, всем будет хогошо...

— Когда?

Ароматов повернул ко мне свое вспотевшее лицо, покрытое сажей, и с детской уверенностью сумасшедшего человека проговорил:

— А вот когда устгоим все по-амегикански... Вы не смейтесь, domine. У меня в голове иногда действительно немного ум за газум заходит, а все-таки нужно «совлечь с себя ветхого человека» и жить по-амегикански. По моему, Госсия и Амегика очень походят дгуг на дгуга. Это две молодые цивилизации, пгямая задача котогых выгаботать новые фогмы жизни.

Новое американское кушанье вкусом походило на спартанскую похлебку, и мне стоило большого труда отказаться от удовольствия проглотить его целую кружку.

V

Однажды после обеда, когда я с книгой в руках лежал в своем уголке, послышался грохот подъехавшего к конторе экипажа. Не успел я подняться навстречу подъехавшим

гостям, как в дверях показался небольшого роста господин в черной фрачной паре, смятой сорочке, без галстуха и с фуражкой на затылке.

— Карнаухов пьяница... вверрно!.. Дда, Лука Карнаухов величайший пьяница из всех рожденных женами. А все-таки Карнаухов честный человек... Федя! Ведь мы с тобой честные человеки?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие, — по-солдатски ответил сухой, вытянутый старик; в дверях виднелась одна его голова в какой-то поповской шляпе.

— Высокоблагородие... хе-хе!.. — продолжал Карнаухов, пошатываясь на своих коротеньких и кривых ножках. — А ежели разобрать, Федя, так мы с тобой выходим порядочные подлецы... Ведь подлецы?..

— Никак нет-с...

— Ну, ин будь по-твоему: честные подлецы... Хха!.. Ах черт тебя возьми, Федя!.. Вчера пили коньяк на Любезном у этого эфиопа Тишки Безматерных, так? Третьего дни пили шампанское у доктора Поднебесного... так? Ну, сегодня проваландаемся у Бучинского...

так? А завтра... Федя, ну кудда мы с тобой завтра денемся?..

— Вы хотели, ваше высокоблагородие, побывать на Майне.

— Это у Синицына? У разбойника?!.. Ну нет, шалишь: Лука Карнаухов к Синицыну не поедет, хоть проведи он от Паньшина до Майны реку из шампанского... На лодке по шампанскому вези — и то не поеду! Понял? Синицын — вор... Ты чего это моргаешь?

Федя — седой сухой старик, только пожал широкими острыми плечами и молча кивнул в мою сторону своей по-солдатски подстриженной головой. В переводе этот жест означал: «Чужой человек здесь, ваше высокоблагородие»... Карнаухов посмотрел в мою сторону воспаленными голубыми глазками и, балансируя, направился ко мне с протянутой рукой.

— А, здравствуйте, батенька! — заговорил он таким тоном, точно мы вчера с ним расстались. — А я вас и не заметил... извините... А мы вчера у Безматерных с дьяконом Органовым сошлись... Вот уж поистине: гора с горой не сходится, а пьяница с пьяницей всегда

сойдутся. Ну и устроили, я вам скажу, такое попоище, такой водопой!.. Ха-ха!.. Доктора Поднебесного знаете? В окно выскочил да в лес... Совсем осатанел от четырехдневного пьянства... Спасибо, вот Федя поймал, а то бы наш доктор где-нибудь в шахте непременно утонул. Ей-богу!..

Карнаухов остановился, неверным движением поправил спутанные волосы на голове, улыбнулся и тоном не совсем проснувшегося человека проговорил:

— Послушайте, вы к Синицыну не ездите. Синицын — вор...

— Не пойман — не вор, ваше высокоблагородие! — коротко заметил Федя, поправляя широчайшей ручищей выцветший лацкан своей охотничьей куртки.

— Нет, братику, вор! — настаивал Карнаухов, напрасно стараясь попасть рукой в карман расстегнутого жилета, из которого болталась оборванная часовая цепочка. — Ну, да черт с ним, с твоим Синицыным... А мы лучше соборне отправимся куда-нибудь: я, Тишка, доктор, дьякон Органов... Вот пьет человек! Как в яму, так и льет рюмку за рюмкой!

Ведь это, черт его возьми, игра природы... Что ж это я вам вру! Позвольте отрекомендоваться прежде! Лука Карнаухов, хозяин Паньшинского прииска...

Заметив мой вопросительный взгляд, Карнаухов торопливо заговорил:

— Да, собственно, прииск принадлежит Миронее Самоделкиной, только Миронея-то Самоделкина принадлежит мне, яко моя законная жена... Теперь поняли? Еще в «Belle Helene» есть такой куплет:

Я муж царицы,
Я муж царицы...

Ах, черт возьми!.. Моя Миронея так же походит на Елену, как уксус на колесо... Ха-ха!.. А мы все-таки, батенька, поедем с вами... Федя, ведь поедем?

— Соснуть бы, ваше высокоблагородие! Три ночи не сыпали.

— По-твоему, значит, я должен удалиться в объятия Морфея?

Федя вместо ответа разостлал на постели Бучинского потертый персидский ковер и положил дорожную кожаную подушку: Карна-

ухов нетвердой походкой перебрался до приготовленной постели и, как был, комом повалился взъерошенной головой в подушку. Федя осторожно накрыл барина пестрым байковым одеялом и на цыпочках вышел из комнаты; когда дверь за ним затворилась, Карнаухов выглянул из-под одеяла и с пьяной гримасой, подмигивая, проговорил:

— Видели этого дурака, Федьку-то? Ведь дурак по всем трем измерениям, а моя-то благоверная надеется на него... Ха-ха!.. На улице жар нестерпимый уши жжет, а он меня байковым одеялом закрыл. Как есть, двояковыпуклый дурень!

Карнаухов весело и как-то по-детски хихикнул; взмахнул короткими ручками, как собирающаяся взлететь на забор курица, и после небольшой паузы опять заговорил:

— Послушайте... Есть двоякого рода подлецы: подлецы чистейшей воды, как Синицын или Бучинский, и подлецы честные, как ваш покорный слуга, Лука Карнаухов, муж Самоделкиной... Ну, скажите, ради бога, что это такое: муж купчихи Миронеи Самоделкиной... Я теперь послан в ссылку, некоторым обра-

зом, а Федька изображает цербера... Ведь я образование высшее получил, голубчик! Как же! Думал даже пользу человечеству приносить! Миронея Самоделкина... Тьфу!.. Послушайте, однако, вы за кого меня считаете? Ну, сознайтесь, ведь подумали: «Вот, мол, дурак этот Лука, сроду таких не видал...» а?

Не дожидаясь ответа, Карнаухов боязливо посмотрел на входную дверь и с поспешностью нашалившего школьника нырнул под свое одеяло. Такой маневр оказался нелишним, потому что дверь в контору приотворилась и в ней показалась усатая голова Феди. Убедившись, что барин спит, голова скрылась: Карнаухов действительно уже спал, как зарезанный.

Погода к вечеру разгулялась; по синему небу белыми шапками плыли вереницы облаков; лес и трава блестели самыми свежими цветами. Природа точно обновилась под дождем и расцветала всеми своими красками. Федя сидел на крылечке и, от нечего делать, покуривал из коротенькой пенковой трубочки. Его потемневшее сморщенное лицо точно застыло в степенном, выжидающем выраже-

нии, как это бывает только у хороших собак и старых слуг. В тупом взгляде небольших серых глаз, в уверенной улыбке, в каждом движении чувствовалось какое-то обидное холопское самодовольство. На пороге кухни сидел рыжий «кум», а напротив него, брюхом на зеленой траве, с соломинкой в зубах, лежал Гараська. Все трое молчали, но в выражении лиц и взглядов можно было заметить скрытую глухую злобу. Застарелый холоп ненавидел всеми силами своей души этих вольных людей, как собака ненавидит волков.

— Ну, чего вы чертями-то сидите? — не вытерпел, наконец, старик, когда я вышел на крыльцо. — Видите, барин вышел, ну, шапочку бы сняли. Ах, вы, чертоломы! Ведь с поклону голова не отвалится!

— А ты вот что, милый человек, — растягивая слова, заговорил Гараська своим тенором. — Мы не к тебе пришли, чего ты шепеpишься?.. Мы к Фоме Осипычу.

— «К Фоме Осипычу»... — передразнил Федя, сердито сплевывая на сторону. — Знаем мы вас... Не велик еще в перьях-то ваш Фома

Осипыч!.. Избаловал он вас, вот что!

— Да ты нешто с того свету пришел, дедушко, чего больно ругаешься-то!.. Мотри, к ненастью...

— А то и ругаюсь, что насквозь вас вижу, всех до единого человека. Все ваши качества вижу.

Наступило принужденное молчание. Со стороны прииска, по тропам и дорожкам, брели старатели с кружками в руках; это был час приема золота в конторе. В числе других подошел, прихрамывая, старый Заяц, а немного погодя показался и сам «губернатор». Федя встречал подходивших старателей самыми злобными взглядами и как-то забавно фукал носом, точно старый кот. Бучинского не было в конторе, и старатели расположились против крыльца живописными группами, по два и по три человека.

— На Майне богатое золото идет, — говорил мужик с окладистой черной бородой. — Сказывают, старую свалку стали промывать, так, слышь, со ста пудов песку по золотнику падает.

— Но-о? — отозвался «губернатор».

— Верно.

— Вишь ты... а?! Старую свалку, говоришь?

— Да... Хотели пробу сделать, а тут богачество.

— Лаадно...

— У Майновских-то, золотников золото в сапогах родится, — ядовито заметил Федя. — Знаем мы, какую на Майне свалку моют... У Синицына, ежели он захочет, и золото из глины полезет. Варнаки вы все, вот что я вам скажу! — неожиданно заключил Федя, бросая вызывающие взгляды.

Старатели переглянулись; послышался сдержанный смех. От толпы отделился «губернатор» и неторопливым мужицким шагом подошел к самому крыльцу.

— А ты видал, в каких сапогах майновские-то золотники ходят? — спрашивал старик, не спуская глаз с Феди.

— Вы только послушайте ихний воровской разговор, — обратился Федя ко мне, не отвечая на вопрос губернатора. — Спроста слова не скажут... У них и язык свой, как у цыган.

— Ну-ну, дедко, скажи-ко по нашему-то? — спрашивал из толпы бойкий парень в кумач-

ной рубахе. — Гляжу я на тебя, больно ты лют хвастать-то...

— «Принеси мне смолы два, заноза в лесу», — проговорил Федя, опять обращаясь ко мне. — Поняли?

— Нет.

— Ну, а они понимают. Ведь понимаете? — обратился Федя победоносно к толпе старателей.

— А что это значит? — спросил я.

— «Принеси фунт золота, лошадь в лесу...» — объяснил Федя. — Золотник по-ихнему три, фунт — два, пуд — один; золото — смола, полштоф — притачка, лошадь — заноза... Теперь ежели взять по-настоящему, какой это народ? Разве это крестьянин, который землю пашет, али там мещанин, мастеровой... У них у всех одна вера: сколько украл, столько и пожил. Будто тоже золото принесли, а поглядеть, так один золотник несут в контору, а два на сторону. Волки так волки и есть, куда их ни повороти!..

— Ты чего тут ругаешься, Федя? — спрашивал Бучинский, подходя к нашему крыльцу с прииска.

— Да вот, Фома Осипыч, любуюсь на ваших золотников, — отвечал Федя, вытягиваясь во фронт. — Настоящая семая рота...

Бучинский засмеялся и прошел в контору; что хотел сказать Федя последним сравнением, так и осталось неизвестным. Старатели один за другим побрели в контору, а Федя, осторожно оглянувшись кругом, прошептал:

— Этого Фомку беспалого, сударь, мало повесить.

— Как так?

— Да уж так-с... Конечно, барин не занимается приисками, а барыня, Миронея Кононовна, по своему женскому малодушию, ничего даже не понимают. Правду нужно говорить, сударь... Так Фомка-то всем и верховодит: половину барыне, а половину себе. Ей-богу!.. Обошел, пес, барыню, и знать ничего не хочет. А дело не чисто... Я вам говорю. Слышали про Синицына-то, что даве барин говорил? Все как есть одна истинная правда: вместе с Фомкой воруют.

В это время в дверях показался старый Заяц.

— Ну, что, как дела? — спросил я его.

— Не спрашивай, барин... — глухо ответил старик и махнул рукой.

— Что так? Плохо золото идет?

— Нет, золото ничего... Заходи как-нибудь к нам в балаган, покалякаем. А я неделю без ног вылежал... Ох-хо-хо!..

VI

Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее уральской летней ночи. Внизу сгустился мрак, и черные тени залегли по глубоким лугам; горы и лес слились в темные сплошные массы; а вверху, в голубом небе, как алмазная пыль, фосфорическим светом горят неисчислимые миры. Прииск потонул в густом белом тумане, точно залитый молоком; огни у старательских балаганов потухли и только где-где глянет сквозь ночную мглу красная яркая точка. Слышно, как бродят по траве спутанные лошади; где-то залаяла собака; бестолково шарахнулась в застывшем воздухе птица и камнем пала в траву. Месяц бледным серпом выплыл из-за горы, и от него потянулись во все стороны длинные серебряные нити; теперь вершины леса обрисовались резкими контурами, и стрелки елей ка-

жутся воздушными башенками скрытого в земле готического здания. Но вот далеко-далеко из тумана встала проголосная русская песня и полилась по всему прииску:

Между го-ор-то было да Енисейских гор,
Раздается его томный глас...

— И песня-то разбойничья! — проговорил Федя.

— Как разбойничья?

— Да так — разбойничья, и все тут. Сложил эту песню разбойник Светлов, когда по Енисейским горам скрывался. Одно слово: разбойничья песня, ее по всем приискам поют. Этот самый Светлов был силищи непомерной, вроде как медведь. Медные пятаки пальцами свертывал, подковы, как крендели, ломал. Да... А только Светлов ни единой человеческой души не загубил, разбоем одним промышлял.

Мы долго сидели молча, прислушиваясь к заунывному мотиву разбойничьей песни. Я раскурил папироску.

— А позвольте узнать, сударь, — заговорил

Федя, — из какого дерева у вас портсигар?

— Кажется, из ореха.

— Так-с... Из ореха.

Федя немного помолчал, затем вздохнул всей грудью, заговорил каким-то изменившимся слащавым голосом:

— Эх, сударь, что этого ореха в нашей Владимирской губернии растет... Ей-богу! А вишенье? А сливы? Чего проще, кажется, огурец... Такое ему и название: огурец — огурец и есть. А возьмите здешний огурец или наш, муромский. Церемония одна, а вкус другой. Здесь какие места, сударь! Горы, болотина, рамень... А у нас-то, господи батюшко! Помирать не надо! И народ совсем особенный здесь, сударь, ужасный народ! Потому как она, эта самая Сибирь, подошла — всему конец. Ей-богу!..

— А ты давно сюда попал?

— Я-то?.. Да считать, так все тридцать лет насчитаешь. Да-с. Глупость была... По первоначалу-то я, значит, промышлял в Москве. Эх, Москва-матушка! Было пожито, было погулянно — всячины было! Половым я жил в трактире, а барину своему оброк высылал. А надо

вам сказать, что смолоду силища во мне была невероятная... Она меня и в Сибирь завела. Да. Видите ли, как это самое дело вышло. Вы слыхали про купца Неуеденова?

— Нет.

— Ну, да где же и слыхать! — с самодовольной улыбкой проговорил Федя. — Вас еще тогда, может, и на свете не было. Это еще до крымской войны, сударь, было дело. Так вот-с, этот самый купец Неуеденов и повадился в наш трактир ходить. Так-с. Из себя невелик, а в крыльцах широк, и рука у него тяжелая. Хорошо. Вот, ходит он к нам в трактир и все как будто на меня поглядывает. Раз этак смотрел-смотрел на меня да и говорит: «А что, Федя, сила у тебя есть?» — «Есть, говорю, ваше степенство, маленькая силенка. Десятипудовые сундуки в третий этаж на собственной спине подымаю». — «Так, говорит. А хочешь, говорит, со мной силой попробовать: одолеешь — тебе десять рублей, не одолеешь — бог простит». Забавно мне это показалось, потому, думаю про себя, что возьму я его да со всем потрохом в окно выкину. Ей-богу! Бывалое дело, не такие столбы ломил... Ну-с, снял

он с себя сюртучок, полотенце через плечо и давай бороться. Что бы вы думали! Ходили-ходили мы, ка-ак он меня хлопнет под коленку, да о-земь... У меня свет из глаз! Ну, посмеялся он тогда, угостил водкой и говорит: «А ты мне, Федя, понравился; хочешь ко мне на службу поступить — жалованьем не обижу». То, се — и уговорил меня ехать с ним на Урал, а зачем — не сказал. Ну, собрались мы и але марш в дорогу. Тогда этих железных дорог и в помине не было; мы по зиме и махнули. Приезжаем мы на Урал, в Екатеринбурге наняли избушку и живем, а мой купец и говорит: «Ну, Федя, теперь торговать будем...» Смеется. «Чем?» — спрашиваю. — «Краденым золотом», — говорит. Как это самое слово сказал он, так меня даже в пот ударило. Думаю: пропала моя голова, не видать мне ни дна, ни покрышки. Ведь по тогдашним временам за эти дела по зеленой улице да в каторгу. Понимаете, сударь, я от этих самых мыслей и сна и пищи решился. Похудел даже из себя, а потом прихожу к своему купцу и говорю: «Ваше степенство, как хошь, а я тебе не слуга... Поищи другого». Опять смеется. «Испугался, Федя?» —

спрашивает. — «Точно так», — говорю. — «Ну, так, говорит, не бойся. Только, говорит, что я тебе скажу: было бы шито и крыто, а то я тебе так завяжу язык, что и ворон костей не найдет». И что бы вы думали? Ведь этот самый купец Неуеденов был совсем не купец, а вывороченный сюртук.

— То есть как — вывороченный сюртук?

— Ну, фискал, значит, а фамилия ему Суставов, Аркадий Павлыч. Из дворян был, из настоящих, а тут его и послали на Урал хищников обследовать. Ведь в те поры хошь оно и строгой закон был, а золотом торговали, как все равно крупой. Открыто торговали... Хорошо. Вот мы и стали жить да поживать в Екатеринбурге, а сами дела эти хищнические разведывали. Скупали золото кой у кого из богатых мужиков, а Аркадий Павлыч все в книжечку да книжечку записывают. Ей-богу!.. Столько эта книжечка после горя да слез принесла, что и думать, так не придумать! На Березовских золотых приисках много народу попалось, в Уктусе, в Шарташе... В Шарташе-то нас чуть и не покончили с Аркадием Павлычем. Народ живет тут самый закосне-

лый, раскольники с испокон веку. Ну, и проведали они про нас что али так хотели покорыстоваться скупленным золотом, только едем, этак ночью, с Аркадий Павлычем, иноходчик у него был гнеденький — ну, катим, как по маслу — а тут пых со стороны из ружья! А впереди двое на вершной стоят и ждут. Тут нам и сила наша пригодилась: как поравнялись верховые — сейчас из стороны трое и прямо в сани. Только и силен был Аркадий Павлыч! Как мы зачали их, еретиков, поворачивать — вдвоем пятерых, как гнилую картошку раскатали, только шерсть полетела. Так господь и отнес беду, а то шабаш: кунчал голова. Пожили мы тогда в Екатеринбурге, долго ли, коротко ли, а потом Аркадий Павлыч и говорит: «Ну, теперь мы с тобой в самое гнездо поедем, откуда это золото идет». И точно, этак по зиме, склались на саночки и марш на заводы. Первым делом в Касли... Тут даже совсем открыто торговали золотом, без всякой обережки. Даже бабы торговали. Ну, мы и ходим по избам да покупаем, а Аркадий Павлыч придет куда в избу да перстеньком на окошке в стекле и оставит заметочку, значит

в перстне-то брильянт был, так он брильянтом-то и запишет, сколько этого золота купили и когда. А книжка — само собой... Из Каслей проехали на Миас, тут уж совсем лафа подошла: в деревне Надыровой у одного башкира мы купили пуд пять фунтов золота-то. Вон оно куда пошло... Да. А потом, сударь мой, поехали мы под Петропавловск, к Троицку — везде работишка была, Аркадий Павлыч пишет да пишет перстеньком своим. Ну-с, как обделали мы всех этих подлецов, Аркадий Павлыч сейчас бумагу в Петербург, а потом и давай по книжечке всех ловить... Ведь несколько сот человек тогда влетело по золоту! А что было по заводам — страсти господни: так ревмя и ревет народ. Однех баб сколько забрали... Ну, обнаковенно, всех этих подлецов привезли в Екатеринбург, давай судить, а потом мужиков повели по зеленой улице да в каторгу, а баб плетями. Такой страх тогда был, такой вой да рев, что и не рассказать... А в заводах, так совсем даже пусто сделалось после этого, сразу захудали. И теперь еще поют по заводам песню, которую тогда по этому случаю сложили:

Уж ты сад ли, мой сад, сад зеленый виноград.
Отчего ты, сад, повял?

— А потом я женился, ну и пришлось остаться здесь, — закончил свой рассказ Федя. — Аркадий-то Павлыч приглашал меня в Петербург, да я не поехал тогда. Тут подвернулся генерал Карнаухов... Может, слыхали?

— Да, слыхал.

— Как же не слыхать, первеющий анжинер был по всему Уралу. Лука-то Васильич, теперешний барин мой, сынком им приходится и тоже в анжинерах. Только супротив родителя куды — не та церемония. Генерал-то жил князь князем. Прежде ведь анжинеры были первое дело; не то, что по-теперешнему, с позволения сказать, всякая шваль лезет в господа. Лука-то Васильич уж очень просты, гонору в них совсем нет, ведь дворянское дите. Я ведь их сызмальства выхаживал и, можно сказать, привесился к ихнему характеру вполне-с. Теперь вот эта ихняя слабость к водке много преферансу убавляет: как барин закурит — сейчас на прииска, да здесь и хороводятся недели две-три. А какой народ на при-

исках? Сами знаете. Конечно, доктора Поднебесного взять — уважительный человек, а остальные... Охо-хо-хо!.. Что и будет, сударь!.. Везде купец силу забрал, а настоящему барину житья совсем нет. Возьмите теперь Тишку Безматерных или Синицына — ведь мужичье! Порты да рубаха — и вся тут церемония, а как они настоящими господами ворочают...

Федя задумался, выпустил несколько клубов дыма и печально прибавил:

— Проклятая здесь, сударь, сторона...

— Что так?

— А то как же... Все это проклятое золото мутит всех. Ей-богу!.. Даже в другой раз ничего не разберешь. Недалеко взять: золотники... Видели? Эх, слабое время пошло. Поймают в золоте, поваландался в суде, а потом на высидку. Да разе мужика, сударь, проймешь этим? Вот бы Аркадий Павлыча послать на нонешние промысла, так мы подтянули бы всех этих варнаков... Да-с.

VII

Среди глубокой ночи, когда все кругом спало мертвым сном, я был разбужен страшным шумом. В первую минуту, спросонья, мне по-

казалось, что горит наша контора и прискакала пожарная команда.

— Гости пожаловали, Фома Осипыч! — докладывал в темноте голос Феди.

— А?.. чего? Який там бис? — отозвался Бучинский, выскакивая на крыльцо в одном белье... — Го... да тут целая собачья свадьба наехала! — проговорил он сердитым голосом, возвращаясь в контору за сапогами и халатом.

— На двух тройках, сударь, — слышался в темноте голос Феди.

Я поспешил поскорее одеться и вышел на крыльцо. При слабом месячном освещении можно было рассмотреть только две повозки, около которых медленно шевелились человеческие тени. Фонарь, с которым появился Федя около экипажей, освещал слишком небольшое пространство, из которого выставлялись головы тяжело дышавших лошадей и спины двух кучеров.

— Отцы... уморили! Ох, смерть моя!.. — доносился чей-то хриплый голос из глубины одной повозки. — Ослобоните, отцы... Дьякон раздавил совсем... Эй, черт, вставай!..

Я побежал на выручку задавленного и, при свете фонаря Феди, увидал такую картину: из одной повозки выставлялась лысая громадная голова с свиными узкими глазками и с остатками седых кудрей на жирном, в три складки, затылке.

— Да где дьякон-то, Тихон Савельич? — спрашивал Федя, тыкая своим кулаком в глубину повозки.

— Ах, отец... да ведь это ты, Федя? — с радостным изумлением проговорила голова. — Тащи дьякона, отец! Подлец, навалился как жернов и дрыхнет... Тащи его, Феденька, за ноги! Ой! Смерть моя... Отцы, тащите дьякона!

На эти отчаянные вопли около повозки собралось человек десять, и длинное тело дьякона Органова, наконец, было извлечено из повозки и положено прямо на траву. Это интересное млекопитающее даже не соблаговолило проснуться, а только еще сильней захрапело.

— Ишь, кашалот какой! — ругался Тихон Савельич, пиная дьякона короткой, толстой, как обрубок, ногой.

— Да как вас угораздидо? — спрашивал кто-то в толпе.

— А черт его знает, как оно вышло... — хрипел Тихон Савельич. — Все ехали ладно, все ладно... а тут, надо полагать, я маненичко вздремнул. Только во снях и чувствую: точно на меня чугунную пушку навалили... Ха-ха!.. Ей-богу!.. Спасибо, отцы, ослобонили, а то задавил бы дьякон Тихона Савельича. Поминай, как звали.

Покачиваясь на коротких ножках, старик, как шар, вкатился на крыльцо. Эта заплывшая жиром туша и был знаменитый Тишка Безматерных, славившийся по всему Уралу своими кутежами и безобразиями.

— Синицын здесь, — конфиденциально сообщил мне Федя. — Такая темная копейка — не приведи истинный Христос!..

В дверях конторы я носом к носу столкнулся с доктором; он был в суконной поддевке и в смятой пуховой шляпе. Длинное лицо с массивным носом и седыми бакенбардами делало доктора заметным издали; из-под золотых очков юрким, бегающим взглядом смотрели карие добрые глаза. Из-за испорченных гни-

лых зубов, как сухой горох, торопливо и беспорядочно сыпались самые шумные фразы.

— Бучинский! Где Бучинский? — неистово кричал доктор. — Голоден, ангел мой, как сорок тысяч младенцев... Ах, извините, ангел мой!.. Доктор Поднебесный, к вашим услугам... Только не дайте умереть с голоду. За одну яичницу отдам тридцать фараонов и одного Бучинского. Господи, да куда же провалился Бучинский? Умираю!

— На Руси с голоду не умирают, доктор, — послышался из конторы чей-то приятный низкий голос с теноровыми нотами.

— Это Синицын говорит! — шепнул мне Федя, втаскивая в контору кипящий самовар.

У письменного стола, заложив нога за ногу, сидел плотный господин с подстриженной русой бородкой. Высокие сапоги и шведская кожаная куртка придавали ему вид иностранца, но широкое скуластое лицо, с густыми сросшимися бровями, было несомненно настоящего русского склада. Плотно сжатые губы и осторожный режущий взгляд небольших серых глаз придавали этому лицу неприятное выражение: так смотрят хищные пти-

цы, готовясь запустить когти в свою добычу. Может быть, я испытывал предубеждение против Синицына, но в нем все было как-то не так, как в других: чувствовалась какая-то скрытая фальшь, та хитрость, которая не наносит удара прямо, а бьет из-за угла.

Бучинский шустро семенил по конторе и перекатывался из угла в угол, как капля ртути; он успевал отвечать зараз двоим, а третьему рассыпался сухим дребезжащим смехом, как смеются на сцене плохие комики. Доктор сидел уже за яичницей-глазуньей, которую уписывал за обе щеки с завидным аппетитом; Безматерных сидел в ожидании пунша в углу и глупо хлопал глазами. Только когда в контору вошла Аксинья с кринкой молока, старик ожил и заговорил:

— Здравствуй, Аксиньюшка! Как живешь-можешь? Да подойди сюда ближе, ведь не укушу... Ишь ты какая гладкая стала: как ямистая репа.

Старик попытался было поймать своей опухшей рукой шуструю бабенку, но та ловко вывернулась из его объятий и убежала на крыльцо.

— Вроде как молонья, раздуй ее горой! — удивлялся Безматерных, почесывая бок, придавленный дьяконом.

— У Бучинского есть вкус, господа, — прибавил доктор, вытирая губы салфеткой.

— Какой вкус... что вы, господа! — отмахивался Бучинский обеими руками, делая кислую гримасу. — Не самому же мне стряпать?.. Какая-нибудь простая деревенская баба... пхэ!.. Просто взял из жалости, бабе деваться некуда было.

— Врешь, врешь и врешь! — послышался голос Карнаухова, который успел проснуться и теперь глядел на всех удивленными, заспанными глазами. — Вот те и раз... Да откуда это вы, братцы, набрались сюда?.. Ловко!.. Да где это мы... позвольте... На Любезном?

— Попал пальцем в небо... Не узнал своей конторы?..

Взрыв общего смеха заставил Карнаухова прийти в себя, и он добродушно принялся хохотать вместе с другими, забавно дрыгая ногами.

— Вот и отлично! Мы после чая такую цхру сочиним! — провозгласил Безматерных. —

Чертям будет тошно...

— Я отказываюсь, господа, — заявил Синицын. — Вы дорогой выспались, а я ни в одном глазу.

— Павел Капитоныч, голубчик... одну партию! — умолял доктор.

— Нет, не могу. Не спал...

— Вот и врешь, — кричал Карнаухов. — Я ведь знаю тебя: ты, как заяц, с открытыми глазами спишь. Ну, да черт с тобой: дрыхни. Мы и без тебя обойдемся: я, Бучинский, доктор, Тихон Савельич — целый угол народу набрался.

Сейчас после чая началася знаменитая «цхра». Бучинский мастерски сдавал карты, постоянно хихикал и громко выкрикивал приличные случаю прибаутки. Мне с Синицыным Федя устроил постели из свежего душистого сена под навесом, где обыкновенно ставили экипажи. Восточная сторона неба уже наливалась молочно-розовым светом, когда мы, пожелав друг другу спокойной ночи, растянулись на своих постелях; звезды тихо гасли; прииск оставался в тумане, который залил до краев весь лог и белой волной под-

ступал к самой конторе. В просыпавшемся лесу перекликались птичьи голоса; картине недоставало только первого солнечного луча, чтобы она вспыхнула из края в край всеми красками, цветами и звуками горячего северного летнего дня.

— Завтра вёдро будет, — говорил Синицын, зевая и крестя рот. — Роса густая выпала...

VIII

На другой день, когда я проснулся, солнце стояло уже высоко; Синицына под навесом не было. По энергическим возгласам, доносившимся до меня из отворенной двери конторы, можно было убедиться, что игра шла полным ходом.

На зеленой лужайке, где стояли экипажи, образовалась интересная группа: на траве, в тени экипажа, лежал, растянувшись во весь свой богатырский рост, дьякон Органов; в своем новеньком азяме, в красной кумачной рубахе с расстегнутым воротом и в желтых кожаных штанах, расшитых шелками, он выглядел настоящим русским богатырем. Молодое лицо, с румянцем во всю щеку, писаными

бровями и кудрявой русой бородкой, дышало здоровьем, а рассыпавшиеся по голове русые кудри и большие, темно-серые соколиные глаза делали дьякона тем разудалым добрым молодцем, о котором в песнях сохнут и тоскуют красные девицы. В головах у дьякона сидел, сложив ноги калачиком, Федя, а в ногах на корточках поместился Ароматов. Последний, рядом с дьяконом, просто был жалок; в руках у него белела перевязанная ленточкой трубочка каких-то бумаг.

— Третью сотню доктор просаживает, — заговорил Федя, пуская кверху тонкие струйки дыма. — Тишка тоже продулся. Бучинский всех обыграет...

— Ну, а твой барин чего смотрит? — отозвался Органов, не поворачивая головы.

— Чего, барин... известно!.. — недовольным тоном ответил Федя. — У него одна линия: знай, коньяк хлещет, знай хлещет...

Пауза.

— Федя! — каким-то упавшим голосом заговорил Органов, тяжело поворачиваясь на один бок. — Федя, голубчик!..

— Ну?

— Ах, право, какой ты!?.. Ведь у меня все нутро выжгло. Рюмочку бы коньячку... а?.. Всего одну рюмочку, Федя... а?

— А черт ли тебе велел лакать столько? — ворчал старик.

— Да ведь нельзя, Федя... Сам знаешь Тишку: пей, хоть расколись! Я теперь второй месяц свету не вижу. Ежели бы они играли, так хоть обливайся, а теперь жди! Легко это?

Федя укоризненно покачал головой, но поднялся и заковылял в контору.

— Неужели вы не можете жить иначе? — спрашивал Ароматов.

— Да как иначе-то?

— Нужно дело какое-нибудь выбгать и габотать. Вон у вас какое здоговье... А какую вы голь иггаете у Тишки?

— Я-то?.. Ох-хо-хо... — застонал Органов. — Чревоугодие одолело... натура... Понимаешь?.. Главо моя, главо, камо тя преклоню?.. Ты думаешь, мне нравится свое-то свинство? Нет, брат, я сам эту водку презираю... да!..

— А вы сделайте усилие над собой. Ведь стоит только захотеть. Слыхали об амегиканцах? Нужно жить по-амегикански.

— У тебя это какая бумага-то?

— Это... это пгоэкт, котогый я сегодня гг. золотопгомышленникам пгедставлю. Мне пгишла в голову блестящая идея.

Этот интересный разговор был прерван появлением Феди, который осторожно нес налитый до краев дорожный серебряный стаканчик.

— На, лакай!

Органов разом «хлопнул» стаканчик в свою широкую глотку, в которой только зажурчало.

За завтраком, который Аксинья подала на крыльцо, шел очень оживленный разговор о золотопромышленности; Бучинский, Карнаухов и Безматерных продолжали резаться в цхру и не принимали участия в завтраке.

— Ну-с, как ваша канава, доктор? — спрашивал Синицын, прищуривая слегка один глаз.

— Ох, ангел мой! — вздохнул тяжело доктор. — Ведь погубила меня эта канава... Вы представьте себе: она стоит мне восемь тысяч рублей, а теперь закапываю девятую.

— Вольному воля... Для чего вам она?

— Вот милый вопрос... Как для чего? А вода? Ведь воду нужно было отвести, чтобы продолжать работы. У меня на прииске эта проклятая вода, как одиннадцатая египетская казнь.

— Кто же это вам посоветовал рыть именно канаву?

— Да ведь воду нужно отвести!

— Хорошо. Однако, какой умный человек посоветовал вам отводить воду именно канавой?

— Своей головой дошел, ангел мой.

— Гм... А не лучше ли было бы поставить три таких паровых машин, как у Бучинского? Ведь оне стоили бы не дороже канавы, а в случае окончания работ вы канаву бросите, а машины продали бы.

— Э, ангел мой! Хорошо советовать после времени, когда дело сделано. Нет, вы влезьте-ка в мою кожу...

— Именно?

— Да как же, погубил меня прииск... По уши в долгах, практику растерял, опустился вообще. Ведь это чего-нибудь стоит? Хорошо вам! Вы золото гребете лопатой.

— И у нас всяко бывало.

— Так-с... Ведь у вас старательские работы?

— Да.

— У меня тоже, — глухо проговорил доктор. — Старатели — это органическое зло; это вопрос государственной важности. Они меня вконец зарежут: последние крохи золота тащат с прииска и продают на сторону. Да вот вы посторонний человек, — обратился доктор ко мне, — ну-с, как вы нашли наших старателей?

— Мне кажется, что вы ошибаетесь, доктор...

— Как, ошибаюсь? Значит, по-вашему, старателям следует воровать наше золото?

— Нет, я этого не говорю. Но думаю...

— Нет, вы представьте себе, — кричал доктор, не слушая меня и размахивая руками: — чего смотрит правительство... а?.. у нас на четыреста приисков полагается один горный ревизор... Ну, скажите вы мне, ради самого создателя, может он что-нибудь сделать? О горных исправниках и штейгерях говорить нечего... Нужно радикальное средство, чтобы прекратить зло в самом корне.

— Это средство в ваших руках, доктор, — заметил я. — Вы сколько теперь платите своим старателям за золотник?

— Больше, чем другие: два рубля.

— Назначьте старателям три рубля за золотник, и воровство падет само собой.

— Это невозможно, — певуче заговорил Синицын. — Во-первых, мы платим арендные деньги за землю, во-вторых, вносим государственную пошлину, а самое главное, мы несем страшный риск при переходе от ручной промывки к машинной... Вот вам живой пример — канава доктора.

— Да вы взгляните, ангел мой, взгляните! — патетически воскликнул доктор, указывая рукой на прииск. — Что это такое? Свиньи раскопали...

— Государство несет страшный убыток от старательских работ, — вторил Синицын. — Старатели не добывают из земли и половины всего золота, потому что не могут вести работ в широких размерах. Они не разрабатывают хорошенько россыпей, наваливают торфами лучшие залежи песков и этим загораживают дорогу крупным предпринимателям.

— Да, да!.. — кричал доктор. — Притом, старатель по самой организации своего труда хищник с ног до головы: он выбирает только лучшие куски, снимает сливки и бросает, чтобы перейти к другим. Старатель может разрабатывать только россыпи с содержанием 60–70 долей золота на 100 пудов песку, тогда как в Америке выгодным считается промывать россыпи с содержанием 5 долей.

— Это верно, доктор, — согласился я. — Только вы забываете, что в Америке золотопромышленник самый мелкий получает полную цену добытого золота, а ваш старатель довольствуется третью этой цены. Затем, климатические условия в Америке совсем другие, там неизмеримо шире развита промышленность, дешевле капиталы, наконец — предприимчивость янки вошла в пословицу...

— Э, ангел мой, и у нас будет все то же, только при конкуренции старательских работ нам немыслимо поставить дело на вполне рациональных условиях.

Доктор набросал широкую картину золотого промысла «на рациональном основании», которая составлялась из двух частей: соб-

ственно приискового хозяйства — заготовка материалов и припасов, своевременная доставка их на прииск — и усовершенствование техники: рельсовые пути для подвозки песков, паровые элеваторы, штанговые и центробежные машины, турфование при помощи сжатого воздуха. Чтобы окончательно убедить в чудесах золотопромышленной техники, доктор привел пример того, что артель в 6 человек, 2 мужика и 4 бабы, добывая песок горным, шахто-ортовым способом, едва успевает промывать в день 600 пудов, тогда как, при открытых работах, разрезом, та же артель свободно промоет целую кубическую сажень песков, то есть 1200 пудов.

— Если еще после этого вы... — ораторствовал доктор, но не договорил своей фразы.

К нам незаметно подошел Ароматов и, сняв свою шляпу, униженно раскланивался, прижимая к сердцу свой сверток, как это делают раскланивающиеся с публикой концертные певцы и певицы.

— Вам что угодно? — спросил доктор, не зная, как принять эти поклоны.

— Если, господа, у вас найдется свободная

минута... — заговорил Ароматов, продолжая раскланиваться. — Я, конечно, маленький человек... очень маленький... Да вот пгочтите пгоэкт, господа, там все сказано. Счастливая мысль, очень счастливая мысль...

Синицын сморщил нос и через плечо едва взглянул прищуренными глазами на маленького человека. Для чего Ароматов ломался — я никак не мог понять. Доктор взял «проэкт», развернул несколько листов чисто переписанной бумаги и прочитал выведенный готическими буквами заголовок:

— «Опыт решения социального вопроса по последним данным науки и на основании указаний практики, поскольку он касается всего человечества вообще, русского народа в частности и приисков в особенности...»

Если бы над нашей головой раздался пушечный выстрел, вероятно впечатление получилось бы слабее: доктор с раскрытым ртом вопросительно посмотрел сначала на нас, потом на Ароматова.

— Послушайте! Что же вы стоите без шляпы? — заговорил он в смущении. — Да идите сюда... Вот вам стул. Не хотите ли завтракать?

Ароматов, скомкав шляпу под мышкой, каким-то приниженным шагом взошел на крыльцо и продолжал молча отвешивать поклоны; стоило большого труда упросить его взять свободный стул и сесть к столу.

— Чего же вы собственно хотите именно от нас? — спрашивал доктор, не зная, как ему смотреть на нового гостя: Как на сумасшедшего или просто как на чудака.

— Я-с, собственно, ничего не хочу и не могу хотеть, кгоме того, чтобы вы удостоили своим пгосвещенным вниманием мой пгоэктец, — униженно заявлял Ароматов, усаживаясь на самый кончик стула.

Пробежав первые строки рукописи, доктор внимательно посмотрел на автора «Опыта» и опять погрузил свой длинный нос в бумаги. Однако чтение продолжалось недолго: доктор передал рукопись мне, а сам залился неудержимым смехом, как умеют хохотать только очень добрые люди. Как я ни был подготовлен к фокусам Ароматова, но его «Опыт» превзошел самые смелые ожидания: это была невообразимая окрошка из ученых выводов и сентенций, перемешанных с текстами свя-

щенного писания, стихами Гейне и собственными размышлениями автора. Болезненная фантазия Ароматова без разбору нанизывала одно на другое и в результате получалась какая-то сумасшедшая мозаика. Синицын полюбопытствовал узнать содержание «Опыта» и, пробежав через мое плечо первую страницу, проговорил:

— Да это социалист, господа...

— Где социалист? Какой социалист? — спрашивал Карнаухов, появляясь в дверях. Заметив Ароматова, он, пошатываясь, подошел к нему и поцеловал в лысину. — Да ты как сюда попал, черт ты этакой?.. Ароматов... тебя ли я вижу?! Господа, рекомендую! Это — Шекспир... Ей-богу!.. Ароматов, не обращай на них, дураков, внимания, ибо ни один пророк не признается в своем отечестве... Блаженни чистии сердцем... Дай приложиться еще к твоей многоученейшей лысине!..

На эти возгласы Карнаухова из конторы выкатился собственной персоной сам Тихон Савельич; от бессонной ночи и выпитого вина его сыромятное лицо светило каким-то жирным блеском, а глаза были совсем мутны.

— Какого это ты француза поймал? — спрашивал старик Карнаухова, показывая своим точно обрубленным пальцем на Ароматова.

— Погодите, погодите... Соловья баснями не кормят, — суетился Карнаухов, затаскивая Ароматова в контору. — Ну, брат, прежде всего устроим разрешение вина и елея... Вкушаешь?

— Единую — могу...

— Сначала, конечно, единую!

После трех рюмок Ароматов сразу воодушевился и продекламировал несколько куплетов из Беранже; невзыскательная публика аплодировала артисту, а Безматерных фамильярно хлопнул его своей пятерней по плечу и хрипло проговорил:

— Да ты, кошки тебя залягай, из заправских актеров, что ли?

Выпитое вино, общие похвалы и внимание воодушевили Ароматова; он, потирая руки, раскланивался на все стороны, как заправский актер, и по пути скопировал Бучинского, который все время смотрел на него с кислой физиономией.

— Комедиант! — презрительно пожимая

плечами, заявил Фома Осипыч. — Которы порядочны человик есть, он никогда не позволит себе...

— Давайте, господа, обедать! — предлагал Карнаухов.

Обед был подан на крыльце и состоял всего из двух блюд: русских щей и баранины. Зато в винах недостатка не было, и Карнаухов, в качестве хозяина прииска, одолел всех. Ароматов сидел рядом с хозяином, и на его долю перепало много лишних рюмок, так что, когда встали из-за стола, он несколько раз внимательно пощупал свою лысую голову и скорчил такую гримасу, что все засмеялись.

— Ну, что, Шекспир? — спрашивал Карнаухов. — А где у вас дьякон, господа? Вот интересно бы их свести вместе?

— Дьякон спит, ваше высокоблагородие, — докладывал Федя. — Они немного не в себе.

— Господа... устгоимте маленькую сцену! — предлагал расходившийся Ароматов. — Я вам один газыггаю опегу.

При помощи двух досок и стульев устроены были две скамьи для публики, а сцена помещалась в переднем углу. Когда публика за-

няла места, Ароматов с театральным жестом объявил:

— Господа, внимание: увегтюга!

Ароматов заиграл на губах интродукцию. Кто-то подавленно прыснул, а Безматерных захватил обеими руками свою сыромятную рожу и запыхтел, как локомотив. «Господи, прости нас многогрешных», — захрипел старик, когда Ароматов перешел к первому действию и заходил по комнате театральным шагом Сусанина. Пел он разбитым голосом, но роли выдерживал удивительно: номера из женских партий исполнял фистулой. Странно, что первое смешное впечатление исчезло, когда началась драматическая часть пьесы: этот смешной, жалкий чудак умел вдохнуть жизнь в свое паясничество и добавлял жестом и мимикой то, что не мог передать голосом. Наконец, Сусанин падает под ножом поляков; публика готова была зааплодировать актеру, который теперь безмолвно лежал на полу, как настоящий убитый, но он поднимает свою плешивую голову и говорит:

— Тише, господа... сейчас будет похогонный магш.

Ароматов опять растянулся на полу и заиграл марш на погребение Людовика XIV. Это было уже слишком, и вся публика разразилась дружным хохотом. Безматерных не мог выдержать — выбежал на сцену и хлопнул лежавшего на полу Ароматова ладонью прямо по лысине.

— Подлец! — закричал Ароматов, поднявшись с полу.

— А ты дурак... ха-ха!.. — заливался Безматерных.

Вместо ответа обезумевший чудак бросился на старика с кулаками; их едва розняли.

— Вы... все... эксплуататогы! — кричал опьяневший от злости Ароматов со слезами на глазах. — Я агтист... я никого не обижал... я... вы обигаете нагод... Пьете чужую кговь!.. Газбойники!?

— Ох-хо-хо!.. — заливался Безматерных, подставляя ногу неистовствовавшему чудаку. — Ох! горе душам нашим!

— Кговопийцы!.. Вы не золото добываете на пгиисках, а кговь человеческую...

С Ароматовым сделался истерический припадок и его едва могли уложить на постель;

нашатырный спирт и холодные компрессы немного его успокоили, но время от времени он опять начинал плакать и кричать:

— Доктог... я не обидел никого... не смеялся ни над кем... Доктог... вот тут, сейчас за стеной... сотни людей мучатся целую жизнь... Женщины... дети, доктог!.. мой пгоэкт... там все сказано!..

Ароматов с детскими рыданиями упал своей лысой головой в подушку.

— Ох, уморили отцы!.. — вздыхал на крыльце Безматерных, вытирая вспотевшую красную рожу бумажным платком. — Ужо дьякону надо отказать, а взять этого... как бишь его... Шекспира... ха-ха!..

Вечером в конторе стояло кромешное пьянство. Ароматов спал на постели Бучинского; его место занимал дьякон Органов.

— Затягивай, дьякон!.. — орал Безматерных, сидя на полу в одной рубахе.

Дьякон встал на средину комнаты, приложил одну руку к щеке, закрыл глаза и ровным бархатным тенором затянул проголосную песню:

Со вечера дождичек,

По утру раным туман,
На меня, на девицу,
Пришла скука и печаль...

Хриплым голосом подхватил песню Безматерных, раскачиваясь туловищем на обе стороны; подтянул ее своим фальшивым тенориком Синицын, даже доктор и тот что-то мычал себе под нос, хотя не мог правильно взять двух нот. Бучинский сидел в углу, верхом на табуретке, и тоже пел только свою собственную хохлацкую песню:

Ой, я нэщастный...
Сполюбив дивчину.
А вона не хоче... не хо-оче!!

А в открытые окна конторы глядела чудная летняя ночь, насквозь прохваченная легкой изморозью. Туман сгустился на самом дне прииска, вдоль течения Паньи, по обеим берегам которой были навалены недавно срубленные деревья. При колеблющемся свете месяца вся картина прииска грустно настраивала душу. Казалось, что перед глазами раскинулось поле сражения каких-то великанов, покрытое теперь трупами убитых. При

неверном месячном свете все предметы принимали фантастические очертания, особенно срубленные деревья. Вот, например, лежит у самой речки громаднейший вояка: очевидно, он горячо гнал врага, невзначай попал на роковую пулю, да так и растянулся во весь свой богатырский рост, уткнув голову в ночной туман. Немного подальше лежит целый ряд убитых; можно рассмотреть даже отдельные члены: вот бессильно согнутые и застывшие в этом положении ноги, вот судорожно скорченная рука, которою убитый все еще хватается за свою рану... Ближе виднелись две женские фигуры, которые наклонились над чьим-то распростертым трупом. А там, где около старательских балаганов сквозь туман мелькали огни, там раскинулся стан торжествующих победителей... Воображение дополняло то, чего не мог схватить глаз, и, кажется, в самом воздухе, в этом чудном горном воздухе, напоенном свежестью ночи и ароматом зелени и цветов, — в нем еще стояли подавленные стоны и тяжелые вздохи раненых.

IX

В течение двух дней гости успели настоль-

ко надоесть, что я постарался как можно раньше утром уйти на охоту. Погода стояла великолепная, как это бывает только в конце июля на Урале; солнце весело золотило верхушки деревьев и ложилось по траве золотыми колеблющимися пятнами. Брести по высокой густой траве, еще полной ночной свежести, доставляло наслаждение, известное только охотникам; в лесу стояла ночная сырость, насыщенная запахом лесных цветов и свежей смолы. Я люблю северный лес за строгую красоту его девственных линий, за бархатную зелень красавиц-пихт, за торжественную тишину, которая всегда царит в нем. Вообще люблю этот могучий лес-великан, как олицетворение живой стихийной силы.

Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. Непривычному человеку тяжело в таком лесу, где мохнатые ветви образуют над головой сплошной свод, а сквозь него только кой-где проглядывают клочья голубого неба. Между древесными стволами, обросшими седым мохом и узорчатыми лишаями, царит вечный полумрак: свесившиеся лапчатые ветви елей и

пихт кажутся какими-то гигантскими руками, которые точно нарочно вытянулись, чтобы схватить вас за лицо, пощекотать шею и оставить легкую царапину на память. Мелкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру, в котором приятно тонут ноги; громадные папоротники, которые таращатся своими перистыми листьями в разные стороны, придают картине леса сказочно-фантастический характер. Прибавьте к этому неверное слабое освещение, которое, как в каком-нибудь старом готическом здании, падает косыми полосами сверху, точно из окон громадного купола, и вы получите слабое представление о том лесе, про который народ говорит, что в нем «в небо дыра». Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая тишина, которой не нарушают даже птичьи голоса. Птицы не любят такого леса и предпочитают держаться по опушкам, около лесных прогалин и в молодых зарослях. В настоящую лесную глушь забирается только белка да пестрый дятел; здесь же по

ночам ухает филин и тоскливо надрывается лесная сирота, кукушка. Каждый раз, когда мне приходится бывать в нетронутом настоящем лесу, мною овладевает то особенное душевное состояние, которое переживалось еще в детстве, когда случалось с смешанным чувством страха и благоговения проходить по пустой церкви. Лучшие лесные пейзажи, которым удивляется публика на выставках, просто кажутся жалкими по сравнению с вечно подвижной и глубоко поэтической в каждом своем уголке природой.

С Паньшинского прииска мне нужно было взять сначала на лесистую небольшую горку, перевалить через нее и спуститься на увал, который и должен был вывести к безымянной речке, а от этой речки верстах в двух проходила дорога на Майну. По маршруту рыжего кума, чтобы пройти на Мохнатенькую горку, следовало пройти по этой дороге верст пять, а там сделать поворот влево, перейти пять ложков — тут тебе будет и Мохнатенькая. Я так и сделал. До выхода на майновскую дорогу успел убить двух рябчиков, а когда отыскал, наконец, дорогу — солнце было уже

высоко. Плестись по пыльной дороге в жар было плохое удовольствие, и я начинал подумывать об отдыхе. В одном месте, где дорога спускалась по глинистому косогору, меня нагнал экипаж Синицына, в котором ехал сам хозяин вместе с доктором; за первой тройкой показалась вторая, нагруженная спавшими телами Безматерных и Карнаухова. Федя сидел на облучке и приподнял весело свою поповскую шляпу; из кузова выставлялись в желтых сбившихся до колен штанах ноги дьякона Органова.

— Видели? — спрашивал Федя, кивая головой на первый экипаж. — Поистине: связался черт с младенцем... А мы на Майну катим. До свидания, сударь!

Я проводил последний экипаж и свернул по своему маршруту влево; по дну второго ложка весело катился холодный, как лед, ключик. Я выбрал местечко в тени пушистой черемухи и с наслаждением растянулся на зеленой высокой траве, которая встала вокруг меня живой стеной. Красиво колебались в воздухе красные верхушки иван-чая, облепленные шелковистым белым пухом; тут же

наливались в траве широкие шапки лесного пахучего шалфея с тысячами маленьких цветочков цвета лежалых старых кружев. Несколько кустов малины приютились около кучки гранитных обломков, бог знает, какой силой занесенных в это уединенное место; над самым ключиком свесили свои липкие побеги молодая верба и несколько кустов черной смородины. Трудно было подобрать уголок красивее, и я с удовольствием отдыхал здесь, прислушиваясь к жужжанью ос и шмелей, которые кружились над головками шалфея. Из лесу доносились голоса каких-то птичек, назвать которых я не умею — мало ли вольной птицы в лесу — и мне каждый раз бывает как-то больно, когда непременно хотят определять, какая именно птица поет. Бог с ней, пусть себе поет на здоровье! Птицы с названиями всегда напоминают мне занумерованные склянки в аптеках...

— Тятя... а тятя?.. — прокатился по лесу свежий девичий голос.

— Здесь... — глухо отозвался издали мужской голос.

— Заплуталась... тя-я-а-тя!.. Где ты?!..

В десяти шагах от меня, из лесу вышла высокая молодая девушка с высоко подтыканным ситцевым сарафаном; кумачный платок сбился на затылок и открывал замечательно красивую голову с шелковыми русыми волосами и карими большими глазами. От ходьбы по лесу лицо разгорелось, губы были полуоткрыты; на белой полной шее блестели стеклянные бусы. Девушка заметила меня, остановилась и с вызывающей улыбкой смотрела прямо в глаза, прикрывая передником берестяную коробку с свежей малиной.

— «Губернаторова» Настасья? — невольно проговорил я, любуясь первой приисковой красавицей.

— А ты как меня знаешь?

— Да так...

Девушка весело засмеялась, беззаботно тряхнула головой и быстро исчезла в густой траве. Я побрел за ней, чтобы узнать, что мог делать старый Сила так далеко от Паньшинского прииска. Мне пришлось сделать всего сажен полтораста, как открылся покатый лог: сквозь редкие сосны я издали увидел «губернатора». Старик по грудь стоял в какой-то

яме, которая имела форму могилы; очевидно, Сила ширфовал, то есть разыскивал золото. Настасья стояла около ширфа и бойко работала железной лопатой, отбрасывая в сторону снятые турфы.

— Бог на помочь, — проговорил я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик. — За охотой пошел? Ну, рыбка да рябки — потеряй деньки... Под Мохнатенькой видел я тетеревят гнезда с три.

— Ширфуешь, дедушка?

— Да, ковыряю задарма землю, — неохотно отвечал «губернатор», с легким покряхтыванньем принимаясь копать землю кайлом. — Тоже вот как твое дело; охота пуще неволи, а бросить жаль.

— Тятя, обедать пора! — проговорила Настасья. — Я вон малины набрала к обеду...

— Вот это люблю, — весело отозвался Сила: — а то на стариковские-то зубы один аржаной хлеб и не тово...

— У меня есть два рябчика, можно их зажарить, — предложил я.

— А сам-то как?

— Еще убью.

Старик недоверчиво посмотрел на меня, а потом как-то нехотя принялся собирать хворост для огня; Настасья помогала отцу с той особенной грацией в движениях, какую придает сознание собственной красоты. Через десять минут пылал около ширфа большой огонь, и рябчики были закопаны в горячую золу без всяких предварительных приготовлений, прямо в перьях и с потрохами; это настоящее охотничье кушанье не требовало для своего приготовления особенных кулинарных знаний.

— За что тебя, дедушко, «губернатором» прозвали? — спрашивал я, когда огонь совсем разгорелся.

— «Губернатором»-то?.. — задумчиво повторил старик мой вопрос. — А это, вишь, дело совсем особливое, барин. Надо с самого началу тебе обсказать... Слыхивал ты про прииск Желтухинский?

— Да, слыхал; один из самых богатых...

— Ну, так вот этот самый прииск я открыл... Да. А про купца Живорезова слыхивал?

— Желтухинский прииск, кажется, Живо-

резову принадлежит?

Старик задумчиво почесал в затылке, поправил свою козлиную бородку и, тряхнув шляпой, продолжал:

— Живорезов миллионты нажил на этом прииске, первый богач по нашим заводам, а не было бы Силы, не было бы и Живорезова... понял? Я его, прииск-то, три месяца в горах искал; с корочкой хлеба за пазухой ширфовал по горам, образ божий совсем потерял, а как объявил прииск — Живорезов у меня и отбил его. Ну, я начал с ним, Живорезовым-то, спориться. Он мне четвертную бумажку отступного сулил, а я трехсот с него не брал. Тут Живорезов-то и обиделся. «Ежели, говорит, ты добром не хочешь брать четвертной, так я у тебя даром возьму прииск, потому я раньше твоего заявил»... Так оно и вышло: навели справку в полицейском управлении — точно, Живорезов раньше моего записан. Ну, тут я к губернатору пошел, а меня за это драть... Вот я с тех пор и стал, милый человек, «губернатор». Завладал Живорезов моим прииском, а у меня, кроме что на себе, — ничего нет.

— А теперь опять ширфуешь?

— Опять ширфую...

— А если опять отберут новый прииск?

— Может и отберут, — соглашался старик. — Только я не могу, барин... Обычай уж такой у меня: как зима повернула на весну, так меня и потянуло в лес. Тошнехонько сидеть в избе... Да и семью всю уведу. Оно, это самое наше старательство, вроде как болесть навяжется... И тяжело, и в убыток себе робишь, а тут уж не разбираешь: только бы до лесу. Старатель старателю розь, барин: который старатель с семьей выходит на прииск, того не применишь к одиночке. Эти нам одиночки, бабы или мужики, вот где сидят! — проговорил старик, указывая на затылок. — Самый путанный народ... От них много горя по приискам. Все говорят про нас, про старателей, что мы и пьяницы, мы и воры... А это неправильно. Конечно, живем на людях — грех-то не по лесу ходит — а все-таки грех греху розь.

— Но ведь старатели воруют хозяйское золото?

Старик внимательно посмотрел на меня и как-то нехотя ответил:

— Есть и такой грех, есть грех... Только, ежели рассудить это самое дело по правилу, старатель-то у кого, по-твоему, ворует?

— У хозяина прииска?

— Вот и не угадал: у себя, барин, ворует... Вот, ты и поди!.. да... Возьми хоть какой прииск: Коренной, Желтухинский, Копчик, Любезный — кем дело держится? Старателями... Хозяин что? Хозяин заплатил по 15 копеек с сажени ренты, поставил контору — и все тут, вся ихняя заботушка. А старатель-то всей семьей робит-робит, колотится-колотится, а принес сдавать золото — на, получай рупь восемь гривен за золотник, все твои. А хозяин-то сдает это золото в казну по пяти рубликов, значит, с каждого золотника ему три рубли двадцать в карман...

— Но ведь на приисках не везде старательские работы, а моют золото и машинами.

— Это только для отводу глаз, для левизора делается, барин, — убежденно заговорил старик. — Ведь поденщику заплати, а что он добудет — твои счастки... А поденщина, известное дело, с рук да с ног: лопатку песку бросил, да два раза оглянулся; старатель-то в это вре-

мя десять успеет бросить, потому как робит он на себя. Уж я тебе, барин, верно скажу: все эти левизоры да анженеры, хоть разорвись, а такой машины не придумают, чтобы с голоду робила... А ты не считаешь того, что мы задаром этой земли перероем? Да ежели бы по-настоящему-то заплатить старателям за ихнюю работу, так золото-то бы не пять рублей за золотник стоило, а клади все десять. Нас тоже не радость на прииски-то гонит, а неволя... Мужики робят, бабы робят, ребятишки махонькие, по восьмому году, и те на тележках ездят: положи на деньги — так и не сосчитаешь! А еще нас же корят, что мы водку пьем, бабы у нас балуются. А ты возьми по правиле: ежели я шесть дён роблю, как двужильная лошадь, не допиваю, не доедаю — могу я в праздник господень, в христово воскресенье пропустить стаканчик? У меня жена бьется еще хуже меня, потому день-то деньской у грохота она молотит, а ночью с ребятишками водится да, бабьим делом, должна то починить, другое поправить... Должен я своей бабе поднести стаканчик или нет? А в ненастье по осени или весной, когда снег тает... Уж ежели

где мужику тяжело, так бабе вдвое. Нет, барин, с наших кровных трудов купец раздувается, а мы выходим все-таки воры...

— Ну, а золото-то все-таки старатели тащат на сторону?

— Как не тащить, ежели плату хорошую дают: в конторе получи рупь восемь гривен, а на воле и все четыре с полтиной. Теперь взять Синицына, даст он за золотник четыре рубли — значит выгодно ему? Ведь у него с каждого золотника рупь останется в кармане... Так? В другой раз на грохоте-то за всю неделю намоют два золотника, а то и один. Ведь шесть животов глядят на этот золотник, а я должен его нести в контору за рупь восемь гривен. И мы счет деньгам-то знаем, не хуже купцов или там господ... В позапрошлом году к нам на прииски приезжал один анженер. Осмотрел нашу работу, а потом и говорит: «вы, говорит, не золото добываете, а закапываете золото»... Это он к тому, значит, что мы не робим в сплошую, а выбираем местечко получше. Я ему и говорю: «ваша высокоблагородие, дайте нам по четыре рубли за золотник — все до единова прииска с изнова пере-

роем: только успевай принимать наше мужицкое золото». Добрый такой был анженер, только усмехнулся.

— Ну, рябчики-то, кажется, поспели, барин, — проговорил «губернатор», перегребая золу. — А ты, Наська, подавай нам свою малину.

Мы закусили на скорую руку, и я поднялся, чтобы идти дальше.

— А что, старый Заяц поправился? — спрашивал я.

— Ох, не говори, барин! — как-то глухо проговорил старик, махнув рукой. — Помнишь Орелка-то? Беда вышла у них, да еще какая беда... За Никитой-то Зайцевым моя дочь Лукерья. Видел, поди: совсем безответная бабенка, как есть... Ну, поробил этот, грех его побери, Естя; а Зайчиха и стала примечать, што он как будто льнет к Лукерье, к моей-то дочери, значит. Старуха обстоятельная, ну, сторожить сноху, да в лесу где за всем углядишь... Хорошо. Только на той неделе Зайчиха-то и присылает за мной свово Кузьку; наказала, чтобы беспременно я шел к ним. Оболокся я поскорее и побрел к Зайцеву

балагану. Прихожу — ну, брат, шабаш!.. Старый Заяц как туча сидит у балагана, молодой Заяц лежит пьяный, а моя Лукерья вся в синявицах... Как увидела меня, вся инда затряслась, побелела. «Что, мол, у вас, родимые, стряслось?» Ну, Зайчиха-то все и обсказала... Видишь, присматривала она за снохой-то, ну, все как будто ничего, а тут как-то поглядела в балагане, а у ней, у Лукерьи-то, значит, под самым заголовьем новешонькой кумашной платок лежит. «Откуда у тебя платок?» «Не знаю...» Ну, старуха сначала побила, значит, Лукерью, а потом пробовала на совесть; нет, заперлась бабенка, и кончено. А откедова быть платку, окромя Орелка? Старухе-то бы за мной послать, может, Лукерья мне-то и повинилась бы, а она возьми да и скажи мужикам... Ну, известно, пошли бабенку куделить с уха на ухо, таскать за волосы, а Никита-то еще ногами ее давай топтать: сказывай, где взяла платок? Избили бабенку в лоск... Ну, послушал я Зайчиху — что мне делать? Пожалеть али заступиться за дочь — скажут, потачу; подумал-подумал, за одно уж видно, мол, терпеть тебе, и давай прикладывать...

— Дура Лукерья-то! — проговорила Настасья.

— Ты больно умна...

— А ты ее за что трепал? Ну?.. Зайцы-то все паршивые, а ты за них же... Я бы знала, что сделать.

— Ну-ко, что?

— Взяла бы да и ушла — черт с вами!.. Естя-то захотел побаловаться над бабой; и подкинул ей платок на зло, а вы давай бабу бить.

— А ведь, оно, ежели рассудить, так, пожалуй, и тово, — согласился старик, почесывая за ухом. — Ну, да дело прошлое, не воротишь...

— Как же, прошлое! — огрызалась Настасья. — Никитка-то вторую неделю пирует, а пришел домой — сейчас колотить жену. Старуха же и направляет, старая чертовка...

— Ну, ладно, разговаривай... Вас, баб, только распусти, так у вас пойдет.

— Терпеть, да не от паршивого Никитки, — ворчала Настасья, сердито сплевывая на сторону. — Разве это мужик!

— А ведь Естя увел за собой у старого Зайца Параху-то, — задумчиво проговорил «гу-

бернатор». — Уж чем этот Орелко соблазнил девку — ума не приложу.

До Мохнатенькой от «губернаторова» ширфа было всего с версту. Издали эта гора казалась не особенно высокой, но подниматься пришлось версты две, самая вершина была увенчана небольшой группой совсем голых скал. Это шихан, как говорят на Урале. С вершины шихана открывалась широкая горная панорама, уходившая в сине-фиолетовую даль волнистой линией; в двух местах горы скучивались в горные узлы, от которых беспорядочно разбегались горки по всем направлениям, как заблудившееся стадо овец. Зеленые валы без конца тянулись к северу, сталкивались, загораживали дорогу друг другу, и в сероватой дымке горизонта трудно было различить, где кончались горы и начиналось небо. Лес, бесконечный лес выстилал горы, точно они были покрыты дорогим, мохнатым темно-зеленым ковром, который в ногах ложился темными складками, и блестел на вершинах светло-зелеными и желтоватыми тонами, делаясь на горизонте темно-синим. Панья пробиралась из одного лога в другой се-

ребряной нитью; в одном месте из-за мохнатой горки выглядывал край узкого горного озера, точно полоса ртути. Это море зелени начинало волноваться, когда по нем торопливо пробегала широкая тень от плывшего в небе облачка; несколько горных орлов черными точками парили в голубой выси северного неба. Вот по этим-то горам в 1577 году прошел с своей разбойничьей шайкой «заворуй Ермак», а в 1595 году «Ортюшка Бабинов» проложил первую прямоезжую дорогу на Верхотурье: таким образом этот исторический порог, загораживавший славянскому племени дорогу в Азию, потерял свое значение, и первые переселенцы могли удовлетворить своему Drang nach Osten.

Но как ни хороша природа сама по себе, как ни легко дышится на этом зеленом просторе, под этим голубым бездонным небом — глаз невольно ищет признаков человеческого существования среди этой зеленой пустыни, и в сердце вспыхивает радость живого человека, когда там, далеко внизу, со дна глубокого лога взовьется кверху струйка синего дыма. Все равно, кто пустил этот дым — одино-

кий ли старатель, заблудившийся ли охотник, скитский ли старец: вам дорога именно эта синяя струйка, потому что около огня греется ваш брат-человек, и зеленая суровая пустыня больше не пугает вас своим торжественным безмолвием.

С вершины Мохнатенькой можно было рассмотреть желтым пятном выделявшийся Паньшинский прииск, а верстах в двадцати от него Любезный, принадлежавший доктору; ближе к Мохнатенькой виднелась Майна. Можно было даже рассмотреть приисковую контору, походившую на детскую игрушку. Глядя на прииски, мне припомнилось все, что пришлось видеть, слышать и пережить за последние две недели... Плакавший истерически Ароматов, «плача» Марфутки, подвиги Аркадия Павлыча Суставова, избитая Лукерья, «золотая каша», торжествующая клика представителей крупной золотопромышленности, преследующих государственную пользу, каторжная старательская работа — сколько зла, несправедливости несет с собой человек всюду! — и под каждой вырытой крупинкой золота сколько кроется глухих страданий

и напрасных слез.

X

Бучинский несколько дней находился в прескверном расположении духа. Он ходил по конторе, плевал во все углы и разражался страшными проклятиями, когда кто-нибудь нарушал бурное течение его мыслей.

— Что с вами, Фома Осипыч? — спросил я наконец.

— А... не спрашивайте! Живешь как свинья, работаешь, как каторжный, а тут... тьфу!

— Уж здоровы ли вы?

— А для чего мне здоровье? Ну, скажите, для чего? На моем месте другой тысячу раз умер бы... ей-богу! Посмотрите, что за народ кругом? Настоящая каторга, а мне не разорваться же... Слышали! Едет к нам ревизор, чтобы ему семь раз пусто было! Ей-богу! А между тем, как приехал, и книги ему подай, и прииск покажи! Что же, прикажете мне разорваться?! — с азартом кричал Бучинский, размахивая чубуком.

В конторе появились штейгеря и казаки. Раньше я их как-то не замечал на прииске, а теперь они точно из земли выросли. Обязан-

ность штейгерей заключается в том, чтобы предупреждать всеми способами хищение хозяйского золота, но известно, что у семи нянек всегда дитя без глазу и штейгеря бесполезны на приисках в такой же мере, как и всякая казенная стража. На казаках лежали специально полицейские обязанности, причем все было упрощено до последней степени: все дела разрешались при помощи нагаек. Где эта братия пропадала в мирное время — трудно сказать.

— Ну, что, как вы нашли «губернаторову» Наську? — совершенно неожиданно спросил меня однажды Бучинский. — О, я знаю, на какую вы охоту ходите и для кого стреляете рябчиков...

— Да откуда же вы можете все знать?

— Сорока на хвосте принесла... Хе-хе! Нет, вы не ошиблись в выборе: самая пышная дивчина на всем прииске. Я не уступил бы вам ее ни за какие коврижки, да вот проклятый ревизор на носу... Не до Наськи!.. А вы слыхали, что ревизор уж был на Майне и нашел приписное золото? О, черт бы его взял... Где у этого Синицына только глаза были?.. Теперь и

пойдут шукать по всем приискам, кто продавал Синицыну золото... Тьфу!.. А еще умным человеком считается... Вот вам и умный человек.

Сделав многозначительную мину и приподняв палец кверху, Бучинский шепотом проговорил:

— Донос был сделай на все прииски... да! И знаете кто сделал донос?

— Кто?

— Ваш приятель, этот дурень Ароматов... Он и меня втяпал, должно полагать! Ей-богу... Вот и делай людям добро, хлопочи о них... Ведь я этого Ароматова с улицы взял! Вот вам благодарность...

Раз вечером, когда я возвращался от Ароматова в контору, на прииске я встретил старого Зайца, который сильно пошатывался и улыбался самой блаженной улыбкой. Старик узнал меня и потащил в свой балаган.

— У Зайчихи и водка найдется про нас, — заплетавшимся языком болтал Заяц, продолжая выделывать ногами самые мудреные па.

Меня удивило счастливое настроение старого Зайца, которое как-то не вязалось с про-

исходившей неурядицей в его семье.

— Ведь Параха-то не тово... — заговорил старик, когда мы уже подходили к балагану: — воротилась. Сама пришла. Он с нее все посымал: и сарафан, и платок, и ботинки... К отцу теперь пришла! Зайчиха-то ее дула-дула... Эх, напрасно, барин! Зачем было девку обижать, когда ей и без того тошнехонько.

Балаган Зайца прилепился к самой опушке леса; по форме эта незамысловатая постройка походила на снятую с крестьянской избы крышу в два ската. Между двумя елями была перекинута жердь, а с нее проведены по бокам ребра; все это сверху было покрыто берестой, еловой корой, дерном и даже засыпано землей. Старый Заяц очень гордился своим балаганом, потому что в самый дождь сквозь его крышу не просачивалось ни одной капли воды; внутри балагана были сложены харчи, конская сбруя и разный домашний скарб, который «боялся воды». Около стен, из травы и старой одежи были устроены постели для баб и ребят; над самым входом в балаган висела на длинной очепе детская люлька, устроенная из обыкновенной круглой решет-

ки, прикрытой снаружи пестрядевым пологом.

— Тут у нас главный старатель качается, — объяснил Заяц, дергая люльку за веревку. — Эй, Зайчиха, примай гостей... Слышишь?..

Из балагана показалась сама, молча посмотрела на улыбавшегося мужа, схватила его за ворот и как мешок с сеном толкнула в балаган; старик едва успел крикнуть в момент своего полета: «А я ба-арина привел...» Зайчиха была обстоятельная старуха, какие встречаются только на заводах среди староверов или в соседстве с ними; ее умное лицо, покрытое глубокими морщинами и складками, свидетельствовало о давнишней красоте, с одной стороны, и, с другой, о том, что жизнь Зайчихи была не из легких.

— Садись, так гость будешь, — сухо пригласила меня Зайчиха, подсаживаясь к огоньку с какой-то работой.

Только теперь я рассмотрел хорошенько, сколько безмолвного горя и глухих страданий таилось под этим наружным спокойствием. Всякое горе, которое постигает членов семьи, обыкновенно собирается около домашнего

очага, где оно еще раз переживается всеми, а всех больше, конечно, тем, чье сердце болит о детях с первого дня их появления на свет. Страдания и неудачи заставляют семью теснее сплачиваться, точно она занимает оборонительное положение, и в центре этой семьи, ее душой в несчастьях является всегда женщина. В женской любящей натуре живет несокрушимая энергия, которая до последнего вздоха стоит за интересы своего пепелища. Когда мужчина теряется и начинает испытывать первые приступы глухого отчаяния, женщина быстро собирается с силами и является с геройской решимостью не отступать ни перед какой крайностью. Старая Зайчиха геройствовала своим искусственным равнодушием, не желая выдавать действительного настроения своих чувств.

— Где у тебя Никита-то? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— И не спрашивай... совсем спутался.

— А бабы где?

— Лукерья пошла мужа разыскивать, а Параха в балагане. Неможется ей...

Эта невольная ложь перед чужим челове-

ком выдавила из подслеповатых глаз Зайчихи две слезинки, и она еще ниже наклонилась над своей работой, ковыряя иглой какое-то тряпье.

— А как у вас золото идет?

Старуха недоверчиво взглянула на меня, махнула рукой и тихо заплакала; высморкавшись в самый кончик передника, она глухо заговорила:

— Слышал, чай... на весь прииск срам. Ох, проклянённое это золото!

— Мне «губернатор» рассказывал...

— Дурак ваш «губернатор» — вот что!

— Зачем дурак?

— А так...

Наш разговор был прерван появлением какой-то старухи, которая подошла к огню нерешительным шагом и с заискивающей улыбкой на сухих синих губах; по оборванному заплатанному сарафану и старому платку на голове можно было безошибочно заключить, что обладательница их знакома была с нуждой.

— Здравствуй, Матвевна... — разбитым, выцветшим голосом обратилась она к Зайчи-

хе.

— Садись, Митревна!.. гостья будешь.

— А я к тебе забежала... Видела, как Лукерья-то прошла к Абрамову балагану, думаю, теперь Матвевна одна... А где у тебя Заяц-то?

Зайчиха молча показала глазами на балаган; Митревна с соболезнованием покачала головой и принялась ругать приисковых мужиков, которые только пьянствуют.

— Твои-то разве тоже? — спрашивала Зайчиха.

— Ох, не говори, мать! Не глядели бы глазыньки. Как лошадь у нас увели, так все и пошло. Надо бы другую лошадку-то, а денег-то про нее и не припасено. Какие уж деньги: только бы сыты... Ну, выработка-то далеко от грохота, изволь-ко пески на тачке таскать. Мужики-то смаялись совсем, ну, а с маяты-то, што ли, и сбились. Чего заробят, то и пропьют.

Митревна принадлежала к тому типу совсем изжившихся старушонок, которые, по народной пословице, в чужой век живут. Глядя на ее испитое лицо, бессмысленно моргавшие глаза, на сгорбленную спину и неверную,

расслабленную старческую походку, трудно было поручиться, что вот-вот «подкатит ей под сердце» или «схватит животом» — и готова! — даже не дохнет, а только захлопает глазами, как раздавленная птица. Между тем, такими жалкими старушонками иногда держится вся семья: везде-то она все видит, все слышит, всех побранит, о всяком поплачет, и кончится часто тем, что всех перехоронит — и старика-мужа, и детей, и внучат, да еще и бобылкой будет маяться лет двадцать. Удивительно живуча человеческая натура. По заискивающему тону разговоров Митревны не трудно было угадать, что она, как это делаем и мы, грешные, совестится попросить у Зайчихи какой-нибудь пятак прямо, а считает своим долгом повести дело издалека, чтобы незаметно подойти к главной цели. Такие подходы слишком наивны, чтобы не заметить их сразу, и мне было жаль Митревны, когда она начинала плести свою жалкую околесную.

— Солдатку-то Маремьяну знаешь? — спрашивала Митревна.

— Ну, знаю.

— Наши бабы ее поучили вечор... Разве не слыхала?

— Нет.

— Здорово поучили... Вишь, она, шлюха этакая, до чужих мужиков больно охотлива и, надо полагать, умеет их приворачивать к себе. Поит их чем, что ли. Только этак-ту она Абрамова старшего сына сманила к себе, потом зятя Спиридонихи, да много еще кой-кого. Ну, бабенки-то и сбились с ума совсем: что им, значит, с мужиками со своими делать? Днюют и ночуют у солдатки, а чуть баба слово — в зубы и в поволочку. Спиридонихина-то дочь топиться бегала с горя... Тут какой-то добрый человек и надоумил бабенок: завели они эту самую Маремьяну в лес да своим судом... Волосы даже на ней все спалили, косу обрезали, а на теле живого места не оставили. Теперь в балагане солдатка-то ни в живых, ни в мертвых лежит.

— Надо бы было раньше догадаться, — проговорила Зайчиха. — Так и надо учить этих шлюх, да еще вот этих сводней, что по приискам шатаются да девок смущают.

— Ох, и не говори, Матвевна! — с тяжелым

вздохом согласилась Митревна и, понизив голос, прибавила: — Ветрела я севодни поутру Силу... Тебя больно жалеет.

— Дурак... выжил совсем из ума на старости лет.

— Все, голубушка, все по прииску-то пальцами указывают на Наську-то, а он других жалеет.

Митревна засмеялась каким-то дряблым, высохшим смехом, причем все лицо у ней собралось в один комочек, как печеная репа.

— Я ему сколь раз говорила, Силе-то, — рассказывала Зайчиха. — А он смеется только... Вот теперь и казнись!

— Да и Фомка-то хитер, пес... Сам даже и не смотрит на Наську, когда мимо грохота идет.

— А сводни-то на что?

— Вот-вот оне самые и есть... Много ли девке надо при ее глупом разуме: сегодня сводня пряниками покормит, завтра ленточку подарит да насулит с три короба — ну, девка и идет за ней, как телушка. А как себя не соблюла раз — тут уж деваться ей совсем некуда! Куда теперь Наська-то денется? У отца не будет век свой жить, а сунься-ко в контору — да

Аксинья-то ее своими руками задавит. Злющая баба...

— Что говорить: злыдня!.. Она Фомку-то, говорят, за волосья таскает.

— А я к тебе, Матвевна! — совсем другим голосом заговорила старуха. — Ребятишки-то со вчерашнего дня не едали, а хлеба-то ни маковой росинки... Мне бы хоть полковрижки? Как только деньги мужики получат за золото, сейчас тебе отдам.

— Да вишь у нас, у самих-то...

Зайчиха немного поломалась, а потом ушла в балаган и вынесла Митревне небольшую ковригу хлеба; старуха с жадностью схватилась за него обеими руками и торопливо поплелась восвояси.

Зайчиха долго сидела молча, не сводя глаз с курившегося огонька; наконец, проговорила:

— Слышал про «губернатора»-то? Не радуйся чужой беде, своя на гряде. Вишь, ему обидно тогда показалось за Лукерью. Я, точно, построжила, ну, мужики тоже малость потеребили, а для кого?.. Для Лукерьи же... Долго ли молоденькой бабенке на приисках спу-

таться. Я сноху-то караулила-караулила да родную дочь и прокараулила... Легко мне это? К кому она пойдет, дочь-то, окромя матери? Ну, и принесла с собой все! Ох-хо-хо, барин, распоследнее наше житье!.. Робить-то робишь, маету примаешь с утра до ночи, а тут еще мужики примутся пировать, бабы гулять...

— А на заводах разве нельзя было устроиться?

— Можно-то, пожалуй, можно, только не сподручное дело, барин... Вишь, по нонешним заработкам по заводам нельзя мужику одному робить, надо посылать на фабрику и подростков, и девок. А что они на фабрике-то увидят, особливо девки? Самое распоследнее дело: которая ни пойдет робить — та, глядишь, и загуляла, а там с готовым брюхом и пришла к отцу, к матери... Балуются девки на фабрике все до последней. Ну, перво-то мы долго крепились, все крепились, а тут и пошли недостатки. Хлеб дорожает, харчи дорожают, обуток, одежа дорожают, и платы мужикам не прибавляют... Побились-побились, дальше уж биться нечего стало: выходило

так, что Параху с Кузькой надо было на фабрику посылать. Подростком была девка-то, жаль до смерти, ну, думали-думали с Зайцем и порешили на прииска, как сват Сила. Про себя-то думали, что как-никак, а дети при себе при своем глазу будут... Как теперь и головушку покажешь к себе на завод...

— А что?

— Как что? Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Видел Митревну-то? Вот она у меня хлеба приходила занять, да она же первая по всему свету и разнесет про Параху-то... Тут, чтобы по этакой славе, девке замуж выйти — ни в жисть! Всякий выбирает товар без изъяну... То же вот и Наська... Уж, кажется, всем взяла девка, а тоже добрых-то людей не скоро проведешь!..

— Отчего бабы на приисках так балуются?

— От тяжелой жизни, барин, от ней самой... Ты погляди-ко, как бабы колотятся на приисках, ну, а тут уж долго ли до греха: другая за доброе слово голову с себя даст снять. Тут как-то в позапрошлом году была одна девчонка... Так из себя-то немудренькая, а все-таки себя крепко соблюдала. Штегерю одному

эта самая девчонка и поглянись... Известно, с жиру бесятся! Ну, приставал, приставал к девке: та не идет. Так что они сделали с ней: сводню штейгер подговорил, а та девчонку завела в лес подальше, ну, а штейгер-то там уж ждет ее... Только девка-то из себя могутная была, не поддалась, тогда они ее водкой напоили. А сводне-то обидно показалось, что девка больно билась, вот она ушла вперед на прииск да оттуда парней и прислала штук десять... Они там и издевались в лесу над девкой, а потом бросили. После замертво свезли в гошпиталь... Следователь приезжал. Ну, а которая доброй волей девка себя потеряет, той и искать не с кого... Ох, да ведь это Никита беспутный с артелью валит? — всполошилась старуха, заслоняя глаза рукой. — Он и есть, страмец!

Со стороны прииска к балагану Зайца с песнями валила пьяная ватага, между которыми издали выделялась вихлястая фигура беспутного Никитки; какой-то парень бойко наигрывал на гармонии, а молодой Заяц по траве пускался вприсядку. По всему прииску громко разносилась бесшабашная прииско-

вая песня:

Как сибирский енерал
Станового обучал...
Ай-вот, калина!..
Ай-вот, малина!..
По щекам его лупил,
Таки речи говорил...
Ай-вот, калина!..

Зайчиха вооружилась длинной черемуховой палкой и встала в выжидающей позе; позади всех с ребенком на руках и с опущенной головой плелась Лукерья. На ней, как говорится, лица не было. Зеленые пятна от синяков, темные круги под глазами, какой-то серый цвет лица...

— Маммынька, я загулял! — мычал Никита, останавливаясь в приличной дистанции от мамынькиной палки. — Родимая... загулял.

— Иди-ко сюда, пе-ос!.. — низкими нотами заговорила Зайчиха и, поймав Никиту за вихор, принялась обрабатывать его длинную сухую спину своей палкой. — Доколе ты будешь пировать-то... а?..

— Мамынька... вот те истинный Христос, не буду больше! — вопил Никита, валяясь на

земле.

Заслышав песню, старый Заяц высунул было свою голову из балагана, но сейчас же спрятался, как началась экзекуция.

— А вы чего стали тут?.. Ступайте домой!.. — кричала Зайчиха на переглядывавшихся гостей. — Ступайте, пока я вас всех палкой не прогнала...

— Мамынька!.. Нам полштофчик всего... — умолял Никита, почесывая бока.

— Ступайте домой, в сам-то деле, — заговорила Лукерья, укладывая ребенка в люльку. — Добрые люди спать ложаться...

— Ах, ты... змея! — вскипел Никита и ногой ударил жену прямо в живот.

Лукерья как-то дико вскрикнула, но Никита уже за волосы тащил ее по земле, нанося страшные удары правой рукой прямо по лицу. Посыпалась мужицкая крупная брань и вопли беззащитной жертвы, но Зайчиха не тронулась с места, чтобы защитить сноху, потому что этим нарушилось бы священнейшее право всех мужей от одного полюса до другого.

XI

С каждым новым днем непривлекательные стороны приисковой жизни выступали все резче. Там, внизу, на прииске, рядом с каторжным трудом и грошевыми заработками, царили пьянство и разгульная жизнь. Заработки старателей в общем, пожалуй, и окупили бы скромные потребности их быта, но они носили слишком неопределенный, случайный характер, так что даже большие получки являлись, как говорила Зайчиха, только «дикою копейкой», то есть шли не на пользу хозяйству, а на его разорение. Жизнь старательской семьи окружена непроходимым лесом всяческих нужд, так что лишний грош в этом circulus viciosus являлся каплей в море. Да и человек, который так безрасчетливо расходовал свои физические силы, должен же был хоть чем-нибудь вознаградить себя за постоянные лишения, за вечные голодовки и холодовки. Водка являлась только неотвратимым следствием сцепления целой системы роковых причин. Разгульная приисковая жизнь в своем основании главным образом обязана была пришлым бессемейным старателям; эта толпа оборванцев и сорвиголов разносила по

приискам ту же заразу, какая процветает на всех фабриках, заводах и промыслах, где женщина является только полуобеспеченной своим личным трудом. Пьянство и разврат — дети одной матери, имя которой: нужда. Старательский способ добычи золота — самый дешевый, какой только можно себе представить, и никакие машины не в состоянии будут конкурировать с человеком, которого заставляет работать крайняя нужда. Но, с другой стороны, насколько здесь выигрывает работа, настолько проигрывает человек, поставленный в невозможные экономические условия. Наука и наши горные экономисты в этом случае обрушиваются на старателя, а не хотят видеть тех экономических условий, жертвой которых он является.

О прелестях казенного золотого дела мы считаем излишним говорить, потому что чужими руками хорошо только жар загребать; наша экономическая политика идет к погашению этого режима доброго старого времени, когда нагревали руки около казенного козла всесильные горные инженеры. Но переход к частной золотопромышленности, как

он оформлен в уставе частной золотопромышленности, утвержденном в 1870 году, является самой неудачной попыткой разрешения вопроса о золотом деле. Этот устав является не переходной ступенью, как это иногда неизбежно при осуществлении финансовых реформ, даже не финансовым компромиссом, а плодом той департаментской мудрости, которая из своего прекрасного далека продолжает тянуть вечно одну и ту же сказку о белом бычке, т. е. о покровительстве крупной российской промышленности. Устав 1870 г. может быть назван не уставом о частной золотопромышленности, а уставом о покровительстве крупным капиталистам. Весь процесс золотого дела обставлен тысячами таких формальностей, от которых пользы государству ни на грош, а между тем эти именно формальности загораживают дорогу всему золотому делу, потому что лишают возможности старателя являться самостоятельным промышленником, делая его вечным работником на купеческую мошну. Проследите весь ход золотого дела: для поисков золота и разведок всякое лицо обязано иметь дозволитель-

ное свидетельство (№ 35), выдаваемое горным начальством на гербовой бумаге рублевого достоинства (№ 37); золотопромышленник, имеющий установленное свидетельство, желая произвести поиски золотоносных россыпей, обязан письменно заявить о намерении своем полицейскому управлению, которому подведомы места, на коих он предполагает произвести поиски и разведки, с объяснением и указанием: 1) имени и звания приказчика и людей, составляющих партию; 2) билетов и паспортов этих людей и 3) времени и места, куда отправляется поисковая партия (№ 39). На избранной свободной местности может быть занят под разведку участок на протяжении не более пяти верст, по направлению лога или по течению реки; заявка благонадежной россыпи должна быть произведена через полицейское управление; отвод заявленных площадей производится по приказанию окружного ревизора особыми отводчиками; на золотых промыслах, разрабатываемых исключительно одними старательскими работами, рабочие допускаются к таковым работам только артелью не менее 10 человек

(№ 112); все добытое при разработке приисков шлиховое золото промышленники или заведующие приисками обязаны записывать в шнуровые книги (№ 126): книги сии должны быть ведены без подчисток, поправок и пробелов, добытый металл должен в них записываться каждодневно; всякая статья дневного получения золота должна быть непременно подписана управляющим прииска, приказчиками и штейгерами, а где есть конторы, то и конторщиками или кассирами, которые должны находиться при каждодневной пересчитке золота при взвешивании его и при записке оного в книгу (№ 129), за право пользования казенными землями взимается ежегодно по 15 копеек за каждую погонную по длине прииска сажень (№ 146); и т. д., и т. д. Просматривая эти правила, можно видеть только, что московская волокита в них нашла свое полное осуществление. Если для крупного золотопромышленника все эти мелочи не имеют никакого значения, то для старательской артели они являются просто мертвой петлей. Ну, скажите, ради бога, откуда возьмет этот старатель, которому за зиму подвело

все животы, гербовую бумагу рублевого достоинства на дозволительное свидетельство производить поиски золота? Затем, заявку он должен сделать письменно, да еще в полицейское управление, когда старатель, во-первых, из ста случаев в девяноста девяти безграмотен, а во-вторых — боится всякой полиции, как черт ладану. Потом, обратите внимание на требование паспортов, на отвод участков для разведок, на шнуровые книги, — прииск превращен в какую-то канцелярию, с входящими и исходящими бумагами, с полицией на одном конце и с горным ревизором на другом. Чтобы пролезть через эту живую лестницу из всяких закорючек да еще безграмотному старателю с пустым брюхом — воля ваша, всему есть предел на свете. Понятное дело, что для купца эти правила трын-трава, и он ежегодно может делать сотни заявок и не поморщится, а старатель отыщет потихоньку россыпь, да и продаст ее тому же купцу за расколотый грош.

Ясное дело, что вся эта канцелярщина запирает дорогу настоящей частной золотопромышленности, в лице старателей, и создает

привилегированное положение для капиталистов. Какой же вывод в результате? А вот какой: из всего добываемого в России золота 70 % добывается старательским путем, а остальные 30 % — механической промывкой. Переведёмте это на язык цифр: в 1880 году в России добыто всего золота 2641 пуд, 70 % составит 1848 пудов; в пуде 3840 золотников, и за каждый золотник старатель получит, возьмем maximum, — 2 рубля, а крупный золотопромышленник сдает в казну за 5 рублей, — следовательно, капиталист с каждого пуда золота отложит в собственный карман без всякого риска со своей стороны и без всяких капитальных затрат 11520 рублей, а со всех 1848 пудов добываемого старателями золота золотопромышленники отложили в 1880 году довольно крупную сумму — 21288960 рублей. На одном Урале в 1880 году добыто золота 576 пудов; следовательно, старателями добыто из этого золота — 403 пуда, за что им заплачено, считая по 2 рубля за золотник, около 3 миллионов рублей, а крупным золотопромышленникам с этого золота пошло дикой пошлины 4 1/2 миллиона. Но ведь все это только при-

близительные расчеты, а если бы спуститься на самое дно этого заветного уголка, где паук ткет свою золотую паутину — мы, вероятно, увидели бы, что капиталисты наживают на заплаченные ими старателям 3 миллиона рублей не 4 1/2 миллиона рублей, то есть 150 % на капитал, а гораздо больше. Еще раз заметьте, что не только весь каторжный труд золотого дела выносит старатель на своих плечах, но и весь его риск, а капиталисты отдуваются за свои 150 % одними гербовыми листами рублевого достоинства, шнуровыми книгами и канцелярской обстановкой, не рискуя ни одной копейкой и не марая рук работой.

К этим вычислениям остается добавить только то, что старателям золотопромышленники платят не 2 рубля за золотник, а 1 рубль 70–80 копеек, а затем, если скупщики находят выгодным получать от старателей краденое золото даже по 4 1/2 рубля за золотник — значит, им выгодна такая операция. Затем, капиталисты спекулируют на припасах, которые продают старателям, на одежде, на водке, наконец, сплошь и рядом обвешивают их и, в

конце концов, даже не рассчитывают совсем. Получается гигантская картина эксплуатации, где всесильная кучка капиталистов высасывает последнюю каплю крови из десятков тысяч старателей.

Новый устав о золотопромышленности делает шаг вперед от порядков доброго старого времени, когда золотое дело являлось привилегией казны и было огорожено зеленой улицей из шпицрутенов, но другой рукой он создает более сильные привилегии, которые не нуждаются даже в шпицрутенах. Это — привилегия капитала, которая всей своей тяжестью ложится на действительного золотопромышленника — старателя и вносит в систему государственной экономии громаднейшие дефициты в лице того остающегося в земле золота, которое старатель не в состоянии вырабатывать за свою сиротскую плату. Настоящими хищниками золота являются не старатели, а крупные золотопромышленники!..

Сидя на крылечке паньшинской приисковой конторы и любуясь привольной картиной прииска, я часто думал о том, как немного нужно было сделать, чтобы поставить зо-

лотое дело на настоящую почву. Золотое дело, как всякий другой вольный промысел, нуждается прежде всего в полнейшей свободе от всякой канцелярщины, а тем больше — от тяжелой полицейской лапы; правительству нечего заботиться о том, как организуется промысел: форма готова, она проходит в лице артели через всю нашу историю, и нам остается только воспользоваться ею. Пусть старатель ищет золото, где хочет, и когда хочет, и как хочет. Правительству достаточно разбросать по приискам несколько десятков своих контор, где старатель мог бы сделать и заявку открытых россыпей и сдать добытый металл за ту же цену, какую получают теперь капиталисты-золотопромышленники. Те фиктивные доходы, которые получает теперь государство с гербовой бумаги, с посаженной платы, удесятерились бы, потому что золото полилось бы в казну широкой рекой. Воровство золота старателями пало бы само собой, а вместе с поднятием экономического уровня поднялся бы и нравственный. Но это только отрицательная сторона в деятельности правительства по отношению к золотому делу,

только, laisser faire — laisser passer; если бы правительство действительно хотело поднять золотое дело до своего естественного максимума, то оно не стало бы создавать привилегий капитализму, а, наоборот, позаботилось бы о тех мозолистых, покрытых потом руках, которые добывают это золото из земли. При артельной организации, не рискуя ничем, можно устроить дешевый кредит, который особенно дорог старателям при начале работ, когда они являются на прииски после зимней голодовки; в эту тяжелую пору каждый рубль дорог, а между тем взять его старателю решительно негде. Затем, механическая промывка золота несравненно выгоднее ручной, но только тогда, когда ею будут заведывать сами старатели; роль правительства доставить им машины в долгосрочный кредит.

Мы глубоко убеждены в том, что рано или поздно наша финансовая политика обратит, наконец, свое внимание на старателей, как на могучую силу в золотом деле; эта сила теперь разрознена и подавлена, но дайте ей выход — и она покажет себя. Против старателей существует громадное предубеждение, как

против хищников по преимуществу, которые являются язвой на золотом деле и составляют вопрос государственной важности, но развяжите руки этой темной, пугающей капиталистов силе, и обвинение в хищничестве и других пороках падет силою вещей. Если каторжный труд и вечное существование впроголодь развращающим образом действуют на старателей, то, с другой стороны, шальные деньги, которые получаются золотопромышленниками без всякого труда и риска, развращают эту сытую, одуревшую от жира среду до мозга костей. Что выделывают на свои дикие капиталы эти... дети природы по всей Сибири — вероятно, слыхал каждый.

XII

Наступили первые дни августа. Выпало два холодных утренника, и не успевшие отцвести лесные цветочки поблекли, а трава покрылась желтыми пятнами. Солнце уж не так ярко светило с голубого неба, позже вставало и раньше ложилось; порывистый ветер набегал неизвестно откуда, качал вершинами деревьев и быстро исчезал, оставив в воздухе холодевшую струю. Радости короткого север-

ного лета приходили к концу, впереди грозно надвигалась бесконечная осень с ее проливными дождями, ненастьем, темными ночами, грязью и холодом. Почти все свободное время я проводил в лесу, на охоте; хвойный лес с наступлением осени делался еще лучше и точно свежел с каждым днем. Возвращаясь однажды с такой охоты, я шел на Паньшинский прииск по майновской дороге; эта узкая лесная дорога, по которой с трудом можно было пробраться в хорошую погоду, теперь представляла из себя узкое и глубокое корыто, налитое липкой глинистой грязью. Шагая по стороне дороги, я догнал тащившийся шагом экипаж Карнаухова. На козлах сидел Федя и правил разбитой тройкой разномастных лошадей; из повозки выглядывали ноги дьякона Органова, которые я узнал по желтым шальварам.

— А... садитесь, сударь! — обрадовался мне Федя, останавливая свою еле плетущуюся тройку. — Вроде как с мертвыми телами еду, — указал он головой на экипаж.

— Куда теперь Федя?

— Да надо пробиться домой, только вот ба-

рин не в себе, да и дьякон тоже...

— Что так?

— Да вот посмотрите...

Федя откинул кожаный фартук, и внутри экипажа, рядом с скорчившейся фигуркой Карнаухова, я рассмотрел русую голову Органова, перевязанную полотенцами.

— С дьяконом-то насилу отводились на Майне, — повествовал Федя, закрывая фартук.

— Как так?

— Да так, известно, от собственной глупости. Как приехали, и давай пить, и давай пить... Пили-пили-пили! А Тишка Безматерных с этого питья даже, можно сказать, совсем сбесился и придумал такую штуку: свечеру напоил дьякона до положения риз, а утром и не велел давать опохмеляться. Видишь, ему хотелось поглядеть, как будет ломать дьякона после трехмесячного пьянства... Хорошо. Проснулся дьякон и первым делом просит водки поправиться. Не дали... Уж он просил-просил, молил-молил, на коленках ползал — не дали ни капли!.. Дьякон-то стал их стращать, что утопится в шахте, ежели не дадут водки. Вот тут Синицын и

придумал потеху: принес ящик из-под вина, поставил к стенке и говорит дьякону: «Ежели проломишь лбом доску — сейчас бутылку коньяку велю тебе подать»... Ну, доски на ящике не то, чтобы уж очень толсты, а в полпальца все будут. Дьякон сперва было не соглашался, а потом точно одурел — как тяпнет головой в ящик, только доски затрещали... Ведь расшиб, сударь!.. Если бы своими глазами не видел, никому бы не поверил. Ну, доску-то он точно прошиб, да и голову себе, однако, проломил: кровь из него так и хлещет, как из барана, а те хохочут-заливаются... Хохотали-хохотали, а тут наш дьякон и повалился, помутнел весь, ну, тогда и давай с ним отваживаться. Дня с три вылежал без языка, а теперь выправляется. Только бы до Паньшина довести в живых, а там и сам найдет дорогу домой. Ох-хо-хо!..

— Ну, а что Бучинский? — спрашивал Федя. — Ужо будет ему баня, голубчику... Только слабые нонче времена, сударь!

Вечером, пока отдыхали и кормились лошади Карнаухова, мы долго сидели с Федей на крылечке. Вечерняя заря догорала, окраши-

вая гряды белых облаков розовым золотом; стрелки елей и пихт купались в золотой пыли; где-то в густой осоке звонко скрипел коростель; со стороны прииска наносило запахом гари и нестройным гулом разнородных звуков. Балаганы давно потонули в тени леса и только крайние из них пламя горевших огней на мгновение точно выхватывало из накоплявшейся мглы. Где-то встал и замер какой-то дикий крик; может быть, это последний вопль какой-нибудь жертвы человеческого насилия или предсмертная агония зайца в когтях совы.

— Большие подлецы бывают на свете, сударь, — задумчиво говорил Федя, насасывая свою пенковую трубочку. — Вот хоть Бучинского взять... Ведь он в сделке с Синицыным и прудит ему золото с нашего прииска пудами. Ей-богу! Майна-то, сударь, совсем бездушный прииск, то есть золота в нем самая малость, а держится за него Синицын по той причине, чтобы отвести глаза... Так-то скупать золото неспособно, у кого своих приисков нет, а ежели прииска есть — только валяй. А ревизор приехал — покажут ему книги и вся недолга.

Так-то-с!.. А Синицын почему держится за Майну? Оченно просто... эта самая Майна села как раз посередь всех прочих приисков, вот Синицын и доит их: с одной стороны подошли прииска Безматерных, с другой — докторский, с третьей — наш... Только получай! Все работают на Синицына, сударь. И он же первый друг-приятель всем: и доктору, и Тишке, и нашему барину... А разве они не знают всю его механику? Знают, да ничего не поделаешь, потому не пойман — не вор... И очень просто это делается, сударь...

Федя осторожно огляделся кругом и тихо заговорил:

— Аксинью-то знаете? Она будто в куфарках у Бучинского, а на сам-то деле метрессой... Как же! Ну-с, так золото-то через нее и прудят на Майну, то есть не сама она таскает его туда, а есть у ней какой-то брат, страшенный разбойник... Так вот он и есть коновод всему делу! Имя-то у него...

— Гараська?

— Он самый, сударь: Гараська... Отчаянная голова, сударь, этот Гараська! Штейгеря они тут уходили на Майне, и след простыл. Пья-

ный сболтнул лишнее про ихние дела, Гараська-то и спустил его в шахту: только и видали... Ревизор как-то хотел словить этого Гараську, караулил его на Майне целую неделю, ну, Гараська и влетел было, да догадлив, пес: мешочек-то с золотом прямо в повозку к ревизору и подкинул, ревизор сам и увез с собой краденое золото, а там уж его добыли после из повозки-то. Так вот этот Гараська скупает у паньшинских старателей золото, да и сдает его Синицыну, а барыши пополам с Бучинским. Сказывают, у этого Гараськи есть какая-то девка. Ховрей называется, так эта самая Ховря в себе проносит золото и по этому случаю ее коробкой, сударь, зовут на прииске.

Федя долго рассказывал про подвиги Бучинского и старателей, жаловался на слабые времена и постоянно вспоминал про Аркадия Павлыча. Пересел на травку, на корточки, и не уходил; ему, очевидно, что-то хотелось еще высказать, и он ждал только вопроса. Сняв с головы шляпу, старик долго переворачивал ее в руках, а потом проговорил:

— Дьяконова шляпа-то у меня... По наследству мне досталась, когда он расстригался.

Мы ведь с ним старые знакомые, в городу-то когда он служил, я частенько к нему захаживал... Хороший был человек, сударь, справный. А какой хозяин — все своими руками умел сделать: и за столяра, и за каменщика, и за сапожника. Хозяйственный человек, одним словом. Жена у него тоже славная была бабочка... А знаете, сударь, — другим голосом прибавил Федя: — ежели разобрать, так дьякон от меня и с кругу сбился. Вот поди ты, какая штука может произойти!.. Ей-богу! Кажется, думать, так не придумать...

— Что же ты сделал ему такое?

— Я-то... да оно делать-то ничего не сделал, а все-таки грех на моей душе, сударь. И попу каялся... да-с. Видите ли, захожу я раз к дьякону, вот этак же дело летом было, сидим мы у него вечером на крылечке и калякаем. Хорошо этак беседуем... Только двор-то крытый и совсем во дворе темно стало: хошь глаз выколи. Я сидел-сидел, да и говорю: «Дай мне тыщу рублей — не пойду теперь на сарай». — Дьякон давай меня просмеивать, что я нечистого боюсь, а никакой нечисти, говорит, нет. Старухи, говорит, придумали. Ну, поспорили:

он свое, я свое. Только мне это и покажись обидно, что дьякон как будто над моей необразованностью смеется, вроде как мужицкую мою глупость хочет показать... Так-с. Я и говорю дьякону: — а вот, говорю, генерал Карнаухов, покойник, не глупее нас был, а тоже этих привидениев до смерти боялся... Тоже вот если заяц дорогу перебежит, поп встретится... Ну, сижу да перебираю, что покойный барин не уважал, а дьякон, как отрежет мне: «Все это бабьи запуки!..» Меня уж тут зло и взяло... «Ах, ты, думаю, долговолосый баран...» Потом и говорю: «Ну, ежели ты боек, дьякон, сходи сейчас на сарай да принеси мне сена». — «Черта, говорит за рога приведу»... Да как сидел, в одной рубашке и кальцонах, — марш на сарай. Ну, сижу на крылечке да слушаю, как дьякон по двору босыми ногами шлепает. Вот заскрипели половицы, значит на сарае бродит, потом, слышу, спущается по лесенке и сеном шуршит... Я даже молитву хотел сотворить, что господь пронес благополучно нашу глупость, а дьякон как ухнет, как заревет... Ну, ей-богу, медведю или чумному быку в пору! Меня так и затрясло, а

дьякон тошнее того ревет, да со страхов-то как кинется, да на столб и оземь...

Федя помолчал, раскурил трубочку и продолжал:

— Вот оно куда глупое-то слово человека приводит, сударь! Я только хотел спичкой чиркнуть да свету добыть, а в избе дьяконица тоже как ухнет и тоже оземь, вроде как квашонка. Баба последнее время ходила, а тут как услыхала, что дьякон, словно под ножом, — ревет со страху и покатилась по избе. Ах! ты господи милостивый! Уж не помню, как я за ворота выскочил и только на улице маненько опамятовался... Ну, дьякон тоже на улицу за мной. «На черта, говорит, ногой наступил»... А на самом лица нет. Что делать?.. Перекрестился я, зажег спички, и пошли мы досматривать, где этот черт лежит. И что бы вы, сударь, думали? Подходим к сараю, а около сарая лежит теленочек пестренький; корова-то, значит, только-только успела отелиться, он еще не успел и обсохнуть, сердечный, как дьякон наступил на него ногой и слышит, что под ногой и теплое, и мокрое, и живое, и мохнатое... Ну, натурально, черт!.. Ну-с, тут

нам даже смешно стало, опять по глупости по нашей. Он черт и оказался...

— Теленок-то?

— Теленок само собой, а черт само собой, сударь. Вот вам это даже смешно кажется, ан дело-то не смешно вышло... Вы послушайте, что дальше-то было. С того самого случая и начни дьяконица хворать... Выкинула она первым делом дите, а потом как под сердце подкатит — дьяконица глаза под лоб, пена у рта, а сама по полу катается. Ей-богу... Ну, обнакновенно, потащили дьяконицу по докторам: один то, другой другое... И грешно, и смешно про этих докторов, сказывать, сударь. Один ее все голодом морил, недели с три морил, пока у дьяконицы язык не отнялся; другой холодной водой ее обливал, третий льдом ее обложил — нет нашей дьяконице лучше и шабаш: урчит в утробе и конец делу, а потом под сердце. Бились-бились с дьяконицей, а потом дьякон уж догадался, что тут не доктора надо... Он, черт-то, в утробу к дьяконице забрался. Нет, вы, сударь, не смейтесь, а слушайте, что дальше-то было. Как догадались об этом, по-вашему... а?..

— Право не знаю...

— Вот то-то и есть... А дело проще пареной репы. Старушоночка одна, побирушка, научила. Как дьяконице подкатило, старушоночка и говорит: «А прочитай исусову молитву»... Ну, обнакновенно, дьяконица только перстом показывает, что «он» ей не дает исусову молитву читать.

— У дьяконицы просто была падучая...

— Ну, пусть будет по-вашему падучая, а мы знаем эту падучую, сударь... Вы послушайте дальше-то. Дьякон тоже все по-вашему же говорил и всех старушонок-лекарок в три шеи гнал... А тут и случись дьякону куда-то на покос уехать, сено ставили. Тут дьяконицу и научили к одному старичку обратиться, чтобы попользовал... А старичок этот многим уж помог. Ну, дьяконица к нему, а старичок говорит: «хорошо; только, чтобы делать все, как я скажу». Обыкновенно, дьяконица рада-радехонька, только вылечи. Вот прихватил старичок двух старушек и пришел к дьяконице... Вбил в стену два гвоздя, поставил дьяконицу к стене и прикрутил ей руки к гвоздям веревкой. Хорошо. Потом как разбежится да голо-

вой прямо в брюхо дьяконице... А могутный из себя старичок был — ну, дьяконица и запела на все голоса. А старичок-то сотворит молитву, разбежится да опять головой, по-бараньему, в брюхо дьяконице. Ну, таким манером орудовал он часа полтора, пока дьяконица билась на гвоздях да ревела, а потом, как стихла, он ее и велел на кровать положить. Совсем было вылечил: сначала-то будто охала, а потом и затихла... А дьякон-то и воротись на притчу: старика в шею, старушонок за шиворот — всех располировал, и все дело сразу испортил. На третий день дьяконица кончилась, а дьякон расстригся, да пить, да пить, да вот до какой оказии и допил. Вот оно, сударь, глупое-то слово куда нас приводит.

Ночью Карнаухов и Федя уехали с прииска; Карнаухов все время не поднимал головы и только раз попросил напиться воды. Дьякон Органов остался на прииске, и Бучинский столкал его с своих рук в землянку Ароматова; последний был очень рад такой находке и с торжеством увел своего постояльца.

— Ох, в живых бы довести барина до дому! — говорил Федя, усаживаясь на козлы. —

А то будет мне на орехи от барыни... До свидания, сударь!.. Извините на нашей простоте...

XIII

Как-то ночью я был разбужен осторожным шепотом и шагами каких-то мужиков. Подняв голову, я узнал в мужиках приисковых штейгерей и переодетых казаков. Очевидно, произошло на прииске что-то очень важное, и Бучинский на мой вопрос только приложил умоляюще палец к губам. Он был в высоких сапогах и торопливо прятал в карман штанов револьвер.

— Мне можно с вами? — спросил я.

— О, никак невозможно, никак невозможно! Дело государственной важности!.. Мы скоро вернемся...

Скоро вся шайка, под предводительством Бучинского, исчезла во мгле осенней ночи. Таинственность этой экспедиции заинтересовала меня, и я с тревогой стал дожидаться ее исхода. Прииск спал мертвым сном; ночь была темная, нигде не мелькало ни одного огня. Время тянулось с убийственной медленностью, и часовая стрелка точно остановилась. Прошло десять минут, четверть часа, два-

дцать минут — мне сделалось просто душно в конторе, и я вышел на крыльцо. Осенняя беспросветная мгла висела над землей, и что-то тяжелое чувствовалось в сыром воздухе, по которому проносились какие-то серые тени: может быть, это были низкие осенние облака, может быть — создания собственного расстроенного воображения. Я напрасно прислушивался к охватившей весь прииск тишине — ни один звук не нарушал ее, точно все вымерло кругом.

В это время из кухонной двери вырвалась яркая полоса света и легла на траву длинным неясным лучом; на пороге показалась Аксинья. Она чутко прислушалась и вернулась, дверь осталась полуотворенной, и в свободном пространстве освещенной внутри кухни мелькнул знакомый для меня силуэт. Это была Наська... Она сидела у стола, положив голову на руки; тяжелое раздумье легло на красивое девичье лицо черной тенью и сделало его еще лучше.

— Застанут, думаешь, Никиту-то? — тихо спрашивала Аксинья.

— Застанут... — так же тихо ответила Нась-

ка, не поднимая своей головы. — В ночь сегодни собирался на Майну с золотом...

— Лукерья-то не знает? — после короткой паузы спросила Аксинья.

— Нет... Избил он ее третьего дни — страсть!.. Глаз не видно, без языка лежала всю ночь...

— А ты через кого узнала про Никитку-то?

— Да мальчишко у них есть, Кузька... он и сболтнул, что Никита собирается в ночь куда-то, а куда ему по ночам ездить, окромя Майны?

Молчание.

— Это тебе старый пес подарил платок-то? — спрашивала Аксинья.

— Нет...

— Не ври. Гараська сказывал... А ты денег с него проси; после, пожалуй, не даст. Кум сказывал, что с Коренного сюда пришла робить одна кержанка... Пожалуй, как бы не отбила у тебя старика!..

— Ну его совсем: не дорого дано...

— А тебе Никиты-то не жаль?

— Значит, не жаль, ежели сама его подвела... Лукерья-то безответная, так я за нее упе-

ку его!.. Путанный мужичонко — туда ему и дорога...

Прошло часа полтора времени, и мне надоело дожидаться на крыльце. Я успел заснуть, когда за конторой послышались громкие крики и чей-то плач. Скоро в контору вошел сам Бучинский и торжественно перекрестился; за дверями кто-то кричал и ругался.

— Говорите: слава богу... — заговорил Бучинский.

— А что?..

— То есть государственная польза... да!.. Пойдемте-ка, каких птиц я вам покажу...

Мы вышли. На лужайке, перед крыльцом, столпилось человек десять; Аксинья держала в руках железный фонарь, и в его колебавшемся слабом свете люди двигались как тени.

— А... бисови ворюги!.. — ревел Бучинский, пробираясь к трем мужикам, которые были окружены штейгерями и казаками.

Прежде всего мне бросилась в глаза длинная фигура Никиты Зайца, растянутая по траве; руки были скручены назади, на лице виднелись следы свежей крови. Около него сидели два мужика: один с черной окладистой бо-

родой, другой — лысый; они тоже были связаны по рукам и все порывались освободиться. Около Никиты, припав головой к плечу сына, тихо рыдала Зайчиха.

— Попались, голуби!.. — злорадствовал Бучинский. — С поличным влетели; теперь, брат, шалишь!

— Врешь, старый пес, — хриплым голосом кричал лысый мужик, дергая связанными руками. — Твои же штегеря нам подкинули золото... Ты вор, а не мы!..

— И как ловко попались! — восхищался Бучинский. — Вот этот... — ткнул он на Никиту. — Приходим к балагану: спят. Оцепили. Ну, а он уж проснулся и с мешочком ползет из балагана... Накрыли его, а в мешочке золото!.. Ха-ха!.. От-то есть дурень!..

— Ваше высокоблагородие! — голосила Зайчиха, каким-то комом бросаясь Бучинскому в ноги: — не пусти по миру... ребятишки... Ваше...

— От-то глупая старуха! То есть государственная польза... Я маленький человек, а вот приедет ревизор — он все дело разберет. Вы будете золото воровать, а я под суд за вас по-

падать?.. Спасибо!

— Батюшка, да ведь всего и золота-то два золотника будет не будет... Ослобони, кормилец!..

— Я же тебе говорю, милая, что не могу... Государственная польза, ревизор приедет, разве ты можешь это понимать?

Поправка доктора Осокина

I

Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем стакане и потом проговорил довольно грубым тоном:

— Знаешь, что я скажу тебе, Матрена? Ты ужасно походишь на трихину...

— Как на трихину? — обиженно удивилась Матрена Ивановна, вскакивая с дивана. — Ты, Семен Павлыч, кажется, совсем сбесился... Я очень хорошо знаю, что такое трихина: этакий беленький червячок, который живет в ветчине. Только трихина тонкая, а я, кажется, слава богу...

В подтверждение своих слов Матрена Ивановна не без грации повернулась под самым носом доктора всею своею круглою фигуркой

и даже показала ему свои белые, пухлые, маленькие ручки, которыми немало гордилась, хотя в качестве акушерки должна была бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо Матрены Ивановны тоже было совсем круглое, и на нем пытливо, с каким-то детским любопытством светились два крошечных голубых глаза, точно вставки из выцветшей бирюзы.

— Конечно, трихина, — настаивал доктор, ероша свои коротко остриженные седые волосы. — Что такое трихина? Трихина есть злокачественный паразит, который губит животных одним существованием в них, а ты заражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может служить то, что против трихины медицина не знает никаких средств лечения, следовательно, они могут существовать совершенно безнаказанно...

— Ну, пошел городить... А еще все считают умным человеком!.. Тьфу!.. Умный человек!..

— Конечно, умный, а то как же?

— Ну, уж извини, голубчик, а по-моему, у тебя, Семен Павлыч, не ум, а умишко, да и то-

го еле-еле хватает, чтобы отвесить дерзость... Старый петух, и больше ничего!

Доктор Осокин слушал с завидным спокойствием, как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, по-видимому, был даже очень доволен, посасывая длинную трубку и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему всегда доставляло удовольствие дразнить Матрену Ивановну, которая иногда ругалась с ним до слез. В таких случаях Матрена Ивановна ненавидела до глубины души самую фигуру доктора — его широкие плечи, сильные, волосатые руки, эту большую стариковскую голову, красивую какою-то старческою красотой, наконец самодовольное выражение докторской рожи. В пылу негодования она иногда ругала его дураком или подлецом, а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только изредка позволял себе улыбнуться, именно позволял, потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, манера держать себя у доктора была вся деланная и вымученная, своего рода кокетство поддельно-умного человека.

— Умный человек! — не унималась расхо-

дившаяся Матрена Ивановна, размахивая своими коротенькими ручками. — Это все наши пропадинские дамы придумали: «умный, умный!..» Жену судьи Берестечкина в одном белье принял. Как же, помилуйте, приезжает к нему дама за советом, а он и выкатил даже без халата... Хорош, нечего сказать!

Доктор и теперь сидел по-домашнему: в халате, в туфлях на босу ногу и с расстегнутым воротом ночной рубашки; это был его обычный домашний костюм. Но Матрена Ивановна не обращала внимания на некоторую свободу докторских одежд и всегда говорила своим бесчисленным знакомым: «Э, батенька, я и не такие виды видывала!»

— Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это мне нравится, — отцеживал доктор, — и не желаю себя стеснять... Удивляюсь только, зачем ко мне шляются некоторые люди, которым я советовал бы лучше сидеть дома и читать псалтырь.

— Как это остроумно, Семен Павлыч... просто великолепно!.. Остроумие военного писарька перед горничной...

Описываемая нами сцена происходила в

большой и высокой комнате, которая доктору Осокину служила приемной, гостиной и всем, чем хотите. Она была совсем пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного стола и нескольких стульев. Давно не беленные стены были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали узоры от грязных собачьих лап, захватанные двери имели самый жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. Теперь на столе красовался давно не чищенный самовар с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими круглыми плечами, разливая чай.

— Меня просто в восторг приводит твоя глупость, Матрена, — говорил доктор, допивая стакан. — Необыкновенно редкий экземпляр, хотя вообще все женщины не отличаются особенным умом... Какое-то вечное полудетское существование, а потом детская старость. Взять хоть тебя, Матрена, ведь безобразна ты, как сморчок, а ведь туда же, еще кокетничаешь... Ну, скажи на милость, не глупо все это?

— Это уж не тебе понимать, Семен Пав-

лыч... да. Конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда ваш брат, мужчинишки, бегали за мной, ручки у Матрены Ивановны целовали.

— Отчего же ты замуж не выходила за одного из этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назначение женщины...

— Замуж?.. Я замуж?.. Никогда! На других-то смотреть тошно, довольно я нагляделась, как бабы мучаются из-за вашего-то брата... Я девушка, да-с!

— Старая девка?

— Пусть.

— Христова невеста?

— Пусть.

По обыкновению, они рассорились. Матрена Ивановна заявила, что ее нога больше никогда не будет в докторской квартире и что она знает себе цену. Скажите, пожалуйста, какая знаменитость: доктор Осокин... ха-ха! Всякий кулик на своем болоте велик. Оказалось, что Матрена Ивановна была знакома с настоящими столичными медицинскими знаменитостями, которые берут по сто-рублей за визит. Да-с, а то какой-то доктор Осокин, кото-

рый корчит из себя великого человека... Нет, это положительно смешно, и если бы Матрена Ивановна умела писать, она так бы расписала этого докторишку, что не поздоровилось бы.

— Да одно то сказать: старый холостяк... тьфу! — ораторствовала Матрена Ивановна, несколько раз порываясь выйти из комнаты. — Я еще понимаю, если женщина не выходит замуж, а мужчина...

— Что же в этом позорного?

— Очень просто: значит, ты человек без сердца или потерял всякую способность быть настоящим мужчиной.

Доктор провел по своей седой щетине рукой и задумчиво улыбнулся.

— Когда я служил в Саратове военным врачом, — заговорил он, раскуривая потухшую трубку, — когда я служил в Саратове, все дамы находили, что я имею сердце, и даже очень горячее.

— Нашел чем похвалиться... Саратовские дамы!.. Знаю я их; они по всей Волге только тем и славятся, что умеют отлично ловить блох.

Эта выходка Матрены Ивановны рассмешила доктора, хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за свою слабость: Матрена Ивановна села на стул и даже развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, что в переводе означало желание просидеть еще час у доктора.

— Нет, мы рассудим все дело начистоту, Семен Павлыч, — говорила она, наливая себе чашку холодного чая. — Если бы я была царем, я всех бы этих подлецов-холостяков женила первым делом... да. Уж я это Отлично понимаю все, пожалуйста, не спорь!.. Что такое девица, по-твоему, Семен Павлыч, а?

— Очень мудреный и глупый вопрос.

— Девица — несчастный человек, вот что нужно сказать. Первое, она должна быть молода и красива, а девичья красота продолжается как раз от шестнадцати до двадцати четырех лет, а тут уж собачья девичья старость начинается. Так? Ваш-то брат, мужчинишки, даже очень хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь красивых годков, и должна она себя в это время пристроить, а ежели совестливая-то да деликатная девица, так это

даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то деле, девица серьезный разговор с молодым человеком начинает, а кругом шушу: жениха барышня ловит... Ну совэстливая-то девица и плюнет. Тоже ведь и гордость своя есть... Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот наше захолустье взять, тот же город Пропадинск? Глядишь, девка и завяла, а жить бы ей, жить надо, да еще как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет... Халда которая, та скорее выскочит замуж, или вдова какая, потому что они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду говорю, Семен Павлыч, истинную правду. Вы вот все науки произошли, а только, что под носом у вас делается, этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером из-за своей совести пропадает, а другая терпит-терпит, да за первого прохвоста и махнет...

— Я-то при чем же тут?

— Ты? А вот ты первый во всем виноват, кругом виноват... К этому и речь веду, голубчик Семен Павлыч. Вы ведь ученые, с вас и первый спрос. До седого волоса учитесь. А какое ваше мужское положение? Как ветер, гу-

ляй из стороны в сторону, и никакого тебе запрету нет. Ты еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть произошел: и барынька податливая попалась, и смазливая горничная, и так сбегаешь вечерком в хорошее место. Всего насмотришься и вот досюда (Матрена Ивановна указала на свою короткую шею) доволен... Знаю я, как вы по столицам-то высшее образование получаете: другой приедет домой-то в чем душа. Ну выучился, поступил на службу и пошел разбирать: та девушка нехороша, эта хороша, да приданого нет, третья и с приданым и с красотой, так образования не имеет или не может свободно ученые ваши разговоры разговаривать. Можно разбирать-то из-за готовых харчей: тут около дамочек свое удовольствие получишь, там экономку какую-нибудь развертную возьмешь, к арфисткам съездишь песенок послушать. Хорошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам, а ты свинья свиньей живешь, да еще порядочным человеком себя считаешь. «Я, говорит, смотрю на жизнь философски. Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет за себя большое преимуще-

ство, но пойдут хлопоты, дрязги, недостатки, — тут уже не до науки». Это в тебе твое свинство говорит, Семен Павлыч, а не наука. Ну, таким манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей собачьей старости.

— Этакий у тебя язык, Матрена... Ну и буду старым холостяком, никому до этого дела нет. Твоей совестливой девице даже лучше, что я ее обманывать не буду.

— Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлыч!.. А деточки-то, ангелочки-то? Что у тебя? Кабак, псарня какая-то (Матрена Ивановна торжествующе обвела комнату глазами)... Пустота, грязь, мерзость. Вон там у тебя кабинет, там спальня, а в той комнате... что у тебя в той-то вон комнате, налево, позабыла я?

— Там собаки живут.

— Да, да... собаки! Тьфу ты, окаянная душа... А комнатка-то какая...

Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, отворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своею головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад и была совсем пустая, только на полу на соломе спа-

ла глухая сука Джойка.

— Ох-хо-хо, хорошенькая комнатка! — вздыхала Матрена Ивановна. — Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, тут комодик, письменный столик, — отличная бы комнатка вышла. Пошел бы вот эдак на службу куда, а сам бы и прислушался, что, мол, моя Саша делает теперь? Глядишь, и забота была бы, не до свинства тогда. То Саше ботинки новые нужно, то Саша нездорова, то Саше книжку умненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да научить... А Саша бы, глядишь, к отцу бы приласкалась, свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя травка. Так я говорю?

Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел, опустив голову. Трубка потухла, чай давно стоял холодный, в комнате было уже темно.

— Штой-то это как я заболталась с тобой, — спохватилась Матрена Ивановна, горошком вскакивая со стула. — Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Прощай, Семен Павлыч.

— Прощай, трихина.

— Петух старый!

Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он все хотел раскурить трубку, но както забывал каждый раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари; где-то громыхали по избитой мостовой дребезжащие дрожки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский сеттер Нахал; он ткнул хозяина холодным носом в руку, повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной ласки, отправился в комнату больной Джойки.

— Ах, да, комната старшей дочери, — вспомнил доктор, прислушиваясь к шагам собаки, и горько улыбнулся.

Вечером доктор долго не ложился спать и со свечкой в руках несколько раз обошел всю свою квартиру, из комнаты в комнату, и внимательно рассматривал свой холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. Доктору сделалось вдруг как-то жутко: из каждого угла на него смотрело его одиночество и то холостое свинство, о котором говорила Матрена Ивановна. Единственная комната в доме, пахнувшая жилым, был доктор-

ский кабинет, — шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные препараты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами и покрытый пылью и табачным сором. Спальня была совсем пустая комната с кроватью посредине. Доктор спал, вместо матраца, на мешке с сеном, которое менялось каждый день. В комнате Джойки доктор пробыл особенно долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами цвета горчицы; у Джойки был маразм, единственное лекарство от которого — смерть. Умная собака, кажется, сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела на хозяина своими слезившимися глазами.

— Плохо, Джойка, — проговорил доктор, щупая сухой нос собаки.

Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но больше не могла и только печально вильнула хвостом. Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены и все лез к доктору, тыкаясь к нему в колена своею рыжею шелковой голо-

вой.

— Экая дура эта Матрена, — вслух проговорил доктор, лаская Нахала. — Единственный верный друг у человека — это собака. Так, Джойка?

II

Уездный город Пропадинск совсем не был таким захолустьем, как отзывалась о нем Матрена Ивановна; напротив, это был очень чистенький и бойкий городок с двадцатитысячным населением, развитою промышленностью и тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются все сибирские города. Правильные, широкие улицы, обстроенные каменными и деревянными домами, вытянулись параллельно течению маленькой горной речонки Пропадинки. Издали вид на город был очень красив: чем-то свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи домов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. Трудно было даже разобрать, где кончался собственно город, потому что заимки и дачи уже входили в черту города, а затем почти в центре зеленою шапкой высилась небольшая лесистая горка, служившая

местом для общественного гулянья. Из общей массы строений выделялись, как громадные заплаты, четыре городских площади и целый ряд громадных каменных домов казарменной архитектуры времен Александра благословенного[239]; это были палаты разных заводчиков и золотопромышленников. Половина этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, потому что владельцы или разорились, или вымерли, или проживали где-нибудь в столицах и за границей.

Самое блестящее время существования Пропадинска были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. Особенно прославились фамилии золотопромышленников Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию, за ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыздин, винокуренные заводчики Барч-Гржеляховские и т. д. Пропадинск зажил бойко и размашисто, как умеют жить только в Сибири, а затем как-то вдруг золото «отошло» в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. Вместо диких миллионов выступили на сцену туго

сколоченные капиталы, промышленники и предприниматели нового пошиба.

— Ничего, светленько-таки пожили... всячины бывало! — любила вспоминать Матрена Ивановна, еще помнившая самый развал пропадинского благополучия. — Гуськов-то, Михайло Платоныч, очень даже умел себя показать: протер глазки-то своим миллионам, немного от них осталось наследничкам-то... Свой театр имел, как же, полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк из Италии выписать, да умер скоро. Когда выдавали Евлампию-то Михайловну, вторую дочь от. первой жены, так один фейерверк стоил пять тысяч, а сколько было посуды перебито на свадьбе, сколько платья испластано на гостях — и не сосчитать.

— Зачем же платья на свадьбе рвали, Матрена Ивановна?

— А от радости, ангел мой, от радости. Это уж такое дикое купеческое обыкновение: ежели все благополучно с невестой, сейчас все в клочья. Была я на свадьбе-то, так и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего сраму дело доходило: подбежит сам-то

Михайло Платоныч к какой даме и сейчас за ворот да до самого подола все платье на ней и разорвет, а сам плачет от радости...

У Матрены Ивановны был свой домишко, стоявший на Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых; он выходил на улицу всего тремя небольшими окошечками и выкрашенным в серую краску деревянным подъездом, над которым красовалась большая синяя вывеска: «Экзаменованная повивальная бабка (Sage-femme[240]) М. И. Пупышкина». Домишко был старый, держался, кажется, только на своей деревянной обшивке, но Матрена Ивановна не желала ни починивать его, ни строить новый, потому что «на мой-то век и этого хватит, а с собой не возьмешь». Собственное помещение Матрены Ивановны заключалось в трех крошечных комнатах, набитых до самого потолка разною старинною мебелью, точно это была лавка со старыми вещами.

— Все подарки от моих пациентов, — объясняла Матрена Ивановна любопытным. — Если самим что-нибудь из мебели надоело, сейчас Матрене Ивановне и подарят. А я все

беру, потому что зачем обижать добрых людей? Конечно, все это хлам, ну, а как умру, так разные неблагодарные племянники найдут место всему.

В приемной комнате стоял диван карельской березы, над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме красного дерева с вычурной золотой резьбой по углам, перед диваном красовался круглый чугунный стол, по сторонам дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, раскрашенные под мрамор; пузатый ореховый комод, бюро без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка; столы, комод, тумбы, спинки у кресел и дивана были завешаны вязаными «филейными» коврикамии салфеточками. В задней комнате Матрена Ивановна, собственно, только спала и там же стояли ее сундуки с разным добром, да еще большой посудный шкаф, в котором хранилось, кажется, все достояние бойкой старушки.

— Буду старая, так негде будет взять-то, —

говорила Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых упрекал ее в скупости. — Сирота ведь я; голодом и холодом насидишься с добрыми-то людьми, а мне вон еще для Поленьки нужно промышлять.

В подвальном этаже домишка Матрены Ивановны проживала в особой каморке бывшая пропадинская знаменитость — Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, где могла бы приклонить свою старую голову, и если бы не Матрена Ивановна, примадонне пришлось бы умирать на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят; она носила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на шее и какую-то фантастическую наколку на голове. Полное, обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих лет, хотя глаза еще сохранили блеск и все зубы были целы; седые волосы она завертывала какою-то пуговкой на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неровно, чем постоянно огорчала Матрену Ивановну, очень «легкую» на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, Матрена Ивановна удив-

лялась про себя, странная эта Поленька: то как будто простая и славная, а то вдруг какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, вообще сделается такою фальшивой и неприятной. Эти припадки обыкновенно случались при ком-нибудь постороннем. «Ну, опять бес поехал на нашей Поленьке! — махнет только рукой Матрена Ивановна. — Ведь уж старуха, а все еще ломаться да представляться надо перед добрыми людьми».

Матрена Ивановна не хотела понять этих вспышек пережившего себя тщеславия: в Поленьке каждый раз мучительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщина, привыкшая быть красивой. Это была настоящая драма, и Поленька делалась каждый раз больна после своих капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней в свою каморку и никого не принимала, даже Матрену Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единственным окном во двор. Впрочем, у Поленьки, ничего и не было, кроме какой-то необыкновенной кровати

красного дерева; это было целое архитектурное сооружение, преподнесенное ей в дни ее славы самим Михайлом Платонычем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта знаменитая кровать была украшена высокими спинками с самою причудливою резьбой. По углам сидели золотые амуры, прицеливавшиеся стрелами друг в друга. Несмотря на все превратности своего существования, Поленька сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней. В дни уныния и печали, запершись на крючок, она отодвигала в кровати широкий ящик и надолго погружалась в рассматривание его содержимого. Весь сор и пепел, какой несет за собой театральная слава, теперь сосредоточивался в этом ящике; тут были засохшие букеты, цветы из венков, широкие шелковые ленты с разными надписями, пожелтевшие и выцветшие портреты, целые кипы стихов, вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений в любви и просто безграмотной дичи, которую могла писать и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень дорожила имен-

но этими футлярами; их ценное содержимое давным-давно перешло в цепкие руки разных закладчиков, но она могла хоть читать потемневшие золотые надписи на этих футлярах. Так, на футляре из-под аметистового колье была надпись: Единственной от города Пропадинска; на фермуаре: Победительнице от побежденных; на бриллиантовой броши: Волшебнице от Гуськова; дальше следовали: Несравненной красоте от клуба приказчиков, Моему божеству от майора Передерина, От ослепленных красотой горных инженеров, и т. д., и т. д. Это были подарки общественного характера, где больше щеголяли футлярами, а самые ценные вещи были помечены какою-нибудь одной буквой, числом или годом. Золотопромышленник Гуськов и откупщик Хлыздин соперничали перед Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оставался в убеждении, что именно его одного Поленька Эдемова и любит.

«Господи, куда же все это девалось? — в каком-то ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания прошлого. — Гуськов разорился и давно умер, Хлыздин тоже, Ефимов

сошел с ума... Другие все: кто умер, кто замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю совесть позабыл».

Поленька иногда чувствовала себя какою-то тенью самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном. Правда, она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом и когда можно было отвести душу хоть с тою же Матреной Ивановной, которая знала всю подноготную Пропадинска, как свои пять пальцев.

— И куда что девалось, ума не приложу, — рассуждала Матрена Ивановна, попивая кофе с Поленькой. — Прежде-то, прежде какие, например, девицы бывали!.. а?

— Я то же самое говорю, — соглашалась Поленька, — что-то как будто нынче их не видно, разве из молодых кто выберется.

— Нет, прежде-то: Евлампия у Гуськовых, Евпраксия, своячина Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимовых, у протопопа Катонова целых три дочери, генеральша Отметышева, заседательша Голубкова... Одна лучше другой, одна краше другой!.. Помнишь, как протопоповские дочери на гитаре играли, а заседательница Голубкова русскую в шароварах и

в шелковой рубахе отхватывала?.. Мне больше всех Евлампия Гуськова нравилась: брови густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, как у богини, а руки какие у ней были!.. Тройкой правила, как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча!

Кутила она после-то сильно... Ох-хо-хо!.. И все-то старые-старые сделались, брюзжат, да стонут, да кашляют... Одни, видно, мы с тобой, Поленька, остались! Право, если с молодыми-то сравнить, так мы еще, пожалуй, того...

— А Машенька Оаетлякова, Эммочка Бодман, говорят, красавицы? — сомневалась Поленька.

— Машенька Светлякова? Эммочка?.. Ха-ха!.. И это красавицы!.. Моль какая-то немецкая: у Эммочки талия до пят, а у Светляковой спина как у стерляди... Знаю я их всех!.. Вот теперь много судейских барынь, у инженеров, у купечества, — все будто люди, а чтобы настоящая красавица — ни одной!.. Я их копчушками всех зову... право, настоящие копчушки. Да вот хоть теперь взять тебя: ведь уж ты старуха, Поленька, старый гриб, а, ей-богу,

всех этих красавиц сложить вместе, так они одной твоей ноги не стоят. Ах, какие у тебя ноги, Поленька, были, какие ноги!.. Недаром Хлыздин шампанским их мыл да этим шампанским гостей поил.

При этой похвале Поленька краснела последним старческим румянцем и стыдливо опускала глаза.

— Я ведь тебе не буду льстить, матушка, — не унималась Матрена Ивановна, — я правду всегда ляпну... Только ты цены себе настоящей не знала и напрасно этим подлецам мужчинишкам доверялась. Так я говорю?.. Конечно, красотою особенной меня господь не наградил, но за одно благодарю моего создателя: ни одному мужчинишке никогда не поверила, а то, по-твоему же, суму на шею надели бы, да и пустили по миру.

— Нет, это я сама виновата, Матрена Ивановна...

— И говорить не смей!.. Она же их и защищает... Позабыла, видно, как у меня жениха отбила?.. Стара вот я только стала, а то бы еще ничего, посчиталась бы с тобой... Ну-ка, скажи по совести, из-за кого я старою-то дев-

кой осталась?

— Матрена Ивановна... оставьте... — глухо шептала Поленька, закрывая лицо руками. — Прогоните меня лучше, а не мучайте.

— Да я ж тебе в ножки поклонюсь за доброе дело, — смеялась Матрена Ивановна. — Кабы не ты, пропала бы моя головушка. Без ума сделалась я тогда...

Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены Ивановны был жених, какой-то учитель Горорытский, а Поленька Эдемова, бывшая тогда на верху своей славы, расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за какого-то шального пари, что отобьет жениха у некрасивой акушерки. Горорытский сразу попался на удочку. Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала ему чистую отставку; учитель скоро спился и умер, а Матрена Ивановна осталась весталкой.

— Одно меня удивляет, — рассуждала Матрена Ивановна, впадая в задумчивое настроение, — откуда это зверство в человеке? Погубила двоих разом и не жаль... Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру.

— Велико кушанье твой Горорытский! —

возмущалась Поленька, увлекаясь воспоминаниями. — Помнишь, как горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?.. Он меня сначала хотел убить...

— Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь... Сколько человек по миру пустила ты, Поленька, а уж сколько жены мужние из-за тебя слез пролили да синяков износили. А я нет, не сержусь... Ну-ка, спой ты эту самую песенку, помнишь?.. Господи, что делалось в театре, когда ты, Поленька, романсы пела...

У Матрены Ивановны хранилась гитара, подаренная ей одною из дочерей протопопа Катонова, и она иногда любила поиграть на ней, припоминая старину. Обыкновенно Матрена Ивановна аккомпанировала, а Поленька пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным воспоминанием для обеих старушек был старинный романс: «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот романс, Матрена Ивановна горько плакала. Чтобы развеселить Матрену Ивановну, Поленька исполняла тоже старинную модную песенку про «Ванюшу-трубочиста», который был «лицом черен, но душою чист».

Вернувшись в последний раз от доктора, Матрена Ивановна долго не могла заснуть, ворочалась в своей постели, а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая с лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость любила эту работу, которая не мешала думать и в то же время доставляла удовольствие и маленький заработок.

— Была я у того, у медведя-то, — говорила Матрена Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать.

— У какого медведя? — равнодушно спрашивала Поленька, разглядывая издали только что собранную бланжевую розу. — Не правда ли, какая прелесть?

— Отстань, пожалуйста, с своими глупостями... А мне, право, даже жаль его сделалось!

— Кого жаль? — с прежним равнодушием спрашивала Поленька, продолжая любоваться своим произведением.

— Ах, какая ты глупая, Поленька! — вспылила Матрена Ивановна, окончательно оби-

женная невниманием. — Я же тебе рассказываю про Семена Павлыча.

— А... так бы и сказала. Опять поругались?

— Да ты слушай. Сначала-то чуть не разодрались, а потом как я принялась его золотить, как принялась, ну, он и прикусил язык-то. Уж на что, кажется, дерзок, а тут замолчал... Знаешь что, Поленька? Мне кажется, что доктор очень несчастлив, очень, очень несчастлив!

— Может быть... не знаю...

Матрена Ивановна искоса взглянула на Поленьку и невольно подумала: «Ну и глупа же ты, матушка. Этакое дерево смолевое!» А Поленька как-то по-ребячьи продолжала любоваться своим цветком и, чтобы не огорчить Матрену Ивановну, напрасно старалась принять внимательный слушающий вид.

— Вот что я хотела тебя спросить, — продолжала Матрена Ивановна с самым невинным видом. — Ведь ты хорошо помнишь Семена-то Павлыча, когда он молодым приехал в Пропадинск?

— Доктора Осокина? — не без важности переспросила Поленька. — Как же, помню... Он

еще когда-то ухаживал за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями.

— Какими глупостями?

— Да разными. Мне тогда не до него было: с одной стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут еще этот доктор. Старики-то совсем сбесились: ревнуют меня к доктору, а я просто не знала, как с ним развязаться.

— Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлыч был влюблен в тебя?

— Не спорю, но что-то такое было.

Как Матрена Ивановна ни допытывалась, но Поленька решительно не могла вспомнить, что такое у ней было с доктором, — память изменила старой актрисе.

III

В Пропадинске доктор Осокин пользовался репутацией странного человека. Все были согласны, что доктор умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него накатывался какой-то особенный стих, и доктор начинал блажить: то пациента обругает, то барыню до истерики доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все ахнут. Нужно сказать,

что было такое особенное время, когда все умные провинциальные люди обязательно чудили, и благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой смерти пользовались репутацией умников. Странности доктора Осокина распадались на два разряда: странности постоянные и странности случайные. К первым относилось то, что доктор в гигиенических видах спал всегда на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, приготовленными для него по какому-то необыкновенному рецепту, зимой ходил в летней фуражке, летом в папахе, не признавал галстуков, из удовольствий допускал только одно — пойдет на двор, разбросает поленницу дров, и совершенно доволен.

— Это мне заменяет музыку, — объяснял доктор на своем странном языке.

Как врач, доктор Осокин пользовался громадною популярностью, хотя всегда старался по возможности избегать частной практики, почему обращался с пациентами с необыкновенною грубостью, но последнее приводило как раз к противоположным результатам; са-

мые нервные и жантильные барыни никому не хотели верить, кроме доктора Осокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходимые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда не обратятся к этому грубияну, и при первом же случае опять посылали за доктором Осокиным. Рассказывали, что одну из своих восторженных пациенток доктор выгнал из своей квартиры прямо в шею, а m-me Берестечкину принял в одном белье.

В Пропадинске доктор жил больше тридцати лет, и жил все время отчаянным холостяком. Докторская квартира служила притчей во языцех, как редкий пример беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор прожил в ней все тридцать Лет и, кажется, совсем не думал выезжать из нее. И прислуга у доктора была одна и та же: неимоверно глупый лакей Авель, которого доктор держал из удовольствия назвать его первым человеком в мире, и старая кухарка Таисья, умевшая готовить только одни морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому

что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего удовольствия ходить по городу пешком.

— Это мне заменяет живопись, — объяснял доктор, когда ему советовали завести лошадь. — Помилуйте, ездить на лошади — это величайшее безумие и самый верный путь к насильственной смерти, а я этого не желаю и надеюсь прожить до ста лет.

С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся и решительно ни у кого не бывал; у него тоже гостей было немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исключением. Трудно сказать, как произошло это знакомство и чем оно поддерживалось, тем более что доктор был заклятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих бесчисленных знакомых, что доктор Осокин скучает без нее.

— А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — допытывались наивные барыни.

— Чего делать-то? Чай пью... Как недели две не загляну к нему, каждый раз скажет: «А я уж думал, что ты, Матрена, издохла». Ну и я

ему тоже не пирогами откладываю. А все-таки приятно с умным человеком поговорить, точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. Иногда часа два разговариваем.

— Душечка, Матрена Ивановна, говорят, доктор двадцать лет какое-то необыкновенное ученое сочинение пишет?

— Не хочу врать: не заметила насчет сочинения. А так книг разных действительно много, больше по нашей медицинской части. Ну, тоже инструменты разные, банки да склянки... А что он делает — прах его разберет. Просто сам перед собой умного человека разыгрывает... Это иногда бывает, болезнь такая есть, только позабыла я, как она по-латински называется.

Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор Осокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. Но чем занимается доктор — осталось тайной, хотя и существовали на этот счет более или менее счастливые гипотезы: одни говорили, что доктор «пишет философию», другие-что занимается вивисекцией[241] или спиритиз-

мом, третьи — что просто-напросто доктор пьет фельдфебельским запоем. Единственными свидетелями докторских занятий были его собаки, но и те не умели ничего рассказать, как и докторская прислуга.

— Чего ему делать-то, нашему барину? Обыкновенно, ходит из угла в угол до вторых петухов, вот и вся работа, — грубо отвечал Авель на все расспросы любопытных. — Сначала в книжку почитает, а потом примется бродить, как маятник... Даже страшно в другой раз сделается: кто его знает, что у него на уме-то?

Общество своих собак доктор Осокин предпочитал обществу людей и с ними проводил свое свободное время, когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормить их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу часа два. Рассказывали настоящие чудеса про необыкновенный ум докторских собак, которые даже не играли с другими собаками, точно они стыдились своего глупого собачьего рода.

В сущности дело было гораздо проще. Доктор Осокин действительно занимался, и зани-

мался очень упорно, и чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увлекался ими. В далекой юности и он заплатил известную дань своему возрасту: пользовался удовольствиями, бывал в клубе, участвовал в любительских спектаклях, ухаживал за хорошенькими женщинами, а потом все это разом бросил и засел в своей квартире. Провинциальная жизнь, сосредоточивавшаяся около вина, карт и сплетен, действительно не интересовала доктора, и он с удовольствием променял ее на «дорогой хлеб науки». В полный расцвет силы доктор Осокин натолкнулся на одну интересную тему и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью.

Его жизнь прошла не даром, и он с гордостью ученого смотрел на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была своя идея, и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания. Но гордость ученого-завоевателя и поэтические восторги рас-

крывавшегося вдохновения часто сменялись минутами апатии, сомнениями и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, и доктор боялся только одного: самые сильные муки доставляют матерям мертворожденные дети, и его двадцатилетний упорный труд мог оказаться одним из тех ученых мыльных пузырей, которые рассыпаются радужною пылью при самом своем появлении. За минутами уныния следовало обыкновенно самое бодрое настроение, тот подъем духа, который доступен только творящей мысли, и в докторской голове сами собой складывались счастливые комбинации, логические обобщения, неожиданные выводы и совершенно новые объяснения.

В этом образе жизни и занятий доктора находилось объяснение его отношений к Матрене Ивановне: напряженно работавшей мысли необходимо было известное развлечение, необходимо было спуститься с научных высот в действительный мир маленьких людишек, крошечных интересов, мелкого тщеславия и невообразимой путаницы взаимных отношений. Матрена Ивановна служила луч-

шим образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как своего рода патологическое явление. Она постоянно удивляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго-долго смотрел на нее в упор.

— Ну, чего ты на меня уставился-то? — рассердится Матрена Ивановна, начиная чувствовать себя неловко.

— А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на кого-нибудь: человек делается все меньше, меньше и меньше... а потом просто получается какая-то букашка.

В описываемое нами время доктор уже предвидел конец своей работе: наступал давно желанный миг, когда он мог представить свой труд на суд публики и пустить в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торжестве захватывала дух у доктора, и он начинал бояться, что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая-нибудь пустая случайность — и труд целой жизни может остаться недоделанным, а это равнялось его гибели.

«Уж не схожу ли я с ума? — задумывался иногда доктор, перелистывая главную рукопись, испещренную какими-то чертежами и

математическими формулами. — Еще каких-нибудь полгода, и все будет кончено».

Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе, и беда пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог ожидать ее: она свалилась на седую докторскую голову с языка Матрены Ивановны. Да, эта безнадежно глупая женщина отравила существование доктора Осокина на целую неделю, и в его мозгу стучала все одна и та же фраза, брошенная Матреной Ивановной, конечно, совершенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор часто повторял: «Комната старшей дочери!.. Комната старшей дочери!» Матрена Ивановна именно так и сказала, и удивительно, как все в этой фразе было сплочено: почему не сына, а дочери, и непременно старшей?

— Ведь это целый отдел жизни я просмотрел! — удивлялся доктор вслух. — Счастливая идея: жизнь в возможности. Да, именно этого у меня и не доставало! Получится совершенно новое освещение некоторых положений.

Параллельно с чисто научными соображениями шел другой порядок мыслей: доктор думал о самом себе и невольно оглядывался

кругом. Всего удивительнее было здесь то, что доктор меньше всего когда-нибудь думал остаться старым холостяком, а между тем выходило так. Жизнь имеет свою логику, и положительно глупую логику. И чем дольше думал доктор на эту тему, тем больше удивительных мыслей приходило ему в голову, а всего удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около роковой фразы Матрены Ивановны.

Следствием этой душевной работы явилась довольно странная выходка.

В одно «прекрасное утро» доктор вышел из своей квартиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому предместью, а вдоль Проломной улицы к центру города. Стояла осень, и везде городские улицы были залиты сплошною грязью, но доктор бодро шагал по переходам и сосредоточенно раскланивался с встречавшимися знакомыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав Проломную улицу, доктор вышел на Черный рынок, потонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую Мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими телегами и

целыми стаями голубей. Наконец, доктор очутился на Соборной площади, центр которой был занят старым гостиным двором. Пробегая глазами вывески, доктор бормотал: «Нет, не здесь...» Лавки с галантерейными товарами, колониальные магазины, торговля красным товаром, шорные лавки — все это было не то, что нужно было доктору.

— Ага, вон она где, — вслух проговорил доктор, читая розовую вывеску на углу дома, выходившего на Соборную площадь, — «Моды и платья m-me Раскеповой». Так... здесь...

Доктор благополучно переправился через всю Соборную площадь прямо к модному магазину и остановился только у каменного крылечка, чтобы немножко перевести дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, наконец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину никогда не случалось бывать в подобных заведениях, и он с любопытством рассматривал длинную комнату, выходившую тремя окнами на площадь. Около стен стояли шкафы с готовыми платьями, между шкафами тянулись лакированные

деревянные полки, набитые синими картонками с выставлявшимися из-под крышек образцами лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке, в особых витринах красиво были разложены такие вещи, назначение которых он едва ли мог бы определить: наколки, куски лент, банты, косыночки, шарфики, крашеные перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки и т. д. Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следующей комнатой, где весь пол был занят целыми ворохами различных материй. Из этого цветного облака на доктора любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек.

— Чем могу служить вам, доктор? — спросила певуче m-me Раскепова, появляясь в арке. — Вы, кажется, в первый раз у меня... Садитесь, пожалуйста.

— Да, у меня есть серьезное дело, — заговорил доктор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между какими-то картонками. — Видите ли, мне необходим целый подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой девушке... Как это называется, позвольте... есть такое слово...

— Приданое.

— Да, да, именно приданое, — облегченно проговорил доктор и провел рукой по своим седым волосам. — Обратите внимание, что приданое нужно для молодой особы.

M-me Раскепова снисходительно улыбнулась:

— Разве приданое делают старухам?

Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате, и даже улыбнулась бледная, худая девушка, стоявшая посредине комнаты в роли манекена; главная швея, некрасивая блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только потому, что рот у ней всегда был занят булавками, которыми она прикалывала примеряемые на манекене платья.

— Вероятно, вам, доктор; приходится выдавать замуж племянницу или какую-нибудь бедную родственницу? — заметила m-me Раскепова.

— Н-нет... не совсем, — заметно смутился доктор и даже уронил своей папахой несколько картонок. — Есть одна молодая особа, очень близкая мне...

M-me Раскепова сделала сердитое лицо,

строго подобрала свои крошечные губы и в коротких словах объяснила доктору, что нужно «-молодой особе». Затруднение вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку.

— Вы представьте себе, madame, только одно, именно, что у этой особы решительно ничего нет, — объяснял доктор, поднимая седые брови.

— Потрудитесь также доставить номер перчаток, который носит эта молодая особа, а также мерку с ноги, — сухо объясняла m-me Раскепова с какою-то печальною торжественностью в голосе. — Наша обязанность — исполнять аккуратно и добросовестно всякие заказы.

Доктор совсем не заметил, как m-me Раскепова подчеркнула последнюю фразу; он смотрел на эту полную важную даму с гладко зачесанными темными волосами доверчивым и улыбающимся взглядом; она ему нравилась, как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанная по полу материя, улыбавшиеся лица бойких швей. Вое это было так ново для него и вместе с тем так отвечало именно его требованиям: здесь было решительно все, что

ему нужно. M-me Раскепова терпеливо ожидала, когда, наконец, уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рассматривать всю обстановку магазина.

— А ведь это очень интересно, очень... — бормотал он.

— Да?

— Да... Вы, madame, вероятно, слыхали о покровительственной окраске у животных и брачном оперении? Это именно относится к вашей специальности и даже могло бы служить очень полезным источником для некоторых указаний практического характера. Покровительственная окраска — это общий научный термин, хотя его понимают исключительно в смысле сохранения отдельных представителей вида, а брачное оперение служит в интересах дальнейшего продолжения этого вида. То же замечается в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае совершенно пассивная: привлечь на себя внимание тех насекомых, которые переносят оплодотворяющую цветочную пыль. Только знаете, какая особенность: у животных в интересах продолжения вида покровительственную

окраску принимают самцы, а у людей наоборот.

— Извините, доктор, мне некогда, — холодно заметила m-me Раскепова.

— Виноват, еще один вопрос: надеюсь, ваше дело идет очень бойко?

— Да, ничего, не могу пожаловаться.

— Не можете ли вы определить время года, когда особенно оживляется спрос на наряды?

— Конечно, зимой, доктор... Балы, семейные вечера, театр, вообще в это время мы завалены работой, особенно к большим праздникам.

— Странно... Опять специально человеческая особенность. Впрочем, это вполне понятно, потому что человек уже освободился от фатальной зависимости от климатических условий и создал искусственные формы жизни.

— Извините, доктор...

— Ухожу, ухожу... Мы еще побеседуем с вами когда-нибудь на эту тему.

— Не забудьте послать мне все мерки.

— Непременно, — бормотал доктор, напяливая папаху на свою седую голову.

Не успел доктор затворить за собой дверь, как весь магазин покатился со смеху: величественно хохотала сама m-me Раскепова, схватившись обеими руками за колыхавшуюся полную грудь, главная швея даже корчилась от смеха, ползая по полу около хихикавшего манекена, до слез хохотали все мастерицы, швеи и самые маленькие девчурки, подававшие утюги и бегавшие по разным поручениям.

— Не угодно ли: молодая особа, у которой решительно ничего нет... — повторяла m-me Раскепова, поднимая свои жирные плечи. — Знаем мы этих особ!.. Ха-ха...

Вместе с m-me Раскеповой, кажется, смеялись все эти картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а висевшие в витринах готовые платья печально разводили своими пустыми рукавами.

IV

Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Осокина, так как m-me Раскепова не поскупилась на краски и по-своему «осветила предмет». Дамы пришли просто в ужас и приписали все случившееся старческому безу-

мию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые негодовали, остальные разводили руками или многозначительно мычали.

— Даже не счел нужным замаскировать свою распущенность, — повторяли негодовавшие дамы. — Мог все это устроить при посторонней помощи, как делают другие мужчины, когда экипировывают своих содержанок. А то заявился среди белого дня прямо в магазин: «У ней ничего нет...» Очень хорошо!

— Мне было ужасно совестно перед своими девушками, — уверяла m-me Раскепова своих заказчиц. — Помилуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости... И представьте себе, доктор всех вообще женщин называет птицами, а мужчин животными. — Как-то он это мудрено сказал.

Всех занимал в одинаковой форме вопрос: кто эта таинственная молодая особа, у которой ничего нет и которая оказалась настолько близка докторскому сердцу? В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, когда разговор заходил о докторе при молодых девушках; самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще город был скан-

дализирован и оскорблен в лучших своих чувствах, и естественно, что все взоры устремились на Матрену Ивановну, которая одна бывала в докторской квартире.

— Хорош ваш приятель, — нападали дамы на Матрену Ивановну и укоризненно кивали головами. — Помилуйте, в каждом семействе есть взрослые девушки, и вдруг такой скандал... Ведь, главное, совершенно открыто все делается, назло всем общественным приличиям и общественному мнению.

— Сдурил старик, совсем сдурил, — соглашалась Матрена Ивановна и тоже качала головой. — Я это заметила в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо в глаза ему все сказала.

— А вы не видали у доктора эту молодую особу?

— Позвольте, сударыня, вы слишком много себе позволяете: я девушка и таких вещей не понимаю, да. Да я после такого случая, если и на улице встречу Семена Павлыча, так не узнаю его... Извините, меня из-за него этак ни в один порядочный дом не пустят!

Одним словом, Матрена Ивановна отрек-

лась от доктора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему чай пить.

— Всего-то, может быть, раза два я у него и была, и то по своим медицинским делам, потому что с кем же посоветоваться?

Но от пропади неких дам было не так-то легко отделаться.

— Непременно тут кроется какой-нибудь роман, — твердили они в один голос. — Ведь вы давно знаете доктора, Матрена Ивановна; вероятно, раньше что-нибудь было такое...

— Роман?.. — прикидывалась Матрена Ивановна непонимающей и отрицательно крутила своею круглою головкой. — Нет, ничего похожего на роман не было. Просто жил доктор холостой свиньей, и только. Да и с кем роману-то быть?.. Прежде-то он, конечно, бывал везде: у Гуськовых, у Ефимовых, у протопопа Катонова, у заседателя Голубкова. Везде были девицы и дамы, только никакого романа и быть не (могло. Уж я это знаю и голову отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся, а прежде строго было... Так уж, которая самая отчаянная, ну, те позволяли себе очень свободное обращение с мужчинами.

Как ни храбрилась Матрена Ивановна, но дамы довели ее до того, что почтенная старушка, наконец, сделалась больна: у ней открылась лихорадка и насморк. Матрена Ивановна пролежала в постели целых три дня, и Поленьке Эдемовой было много с ней хлопот: она натирала Матрену Ивановну всевозможными мазями, поила липовым цветом и даже вспрыскивала с уголька водой. Только иа четвертый день Матрена Ивановна встала с постели и перешла на свое любимое место к окошечку, где стояло глубокое старинное кресло, подарок откупщика Хлыздина.

— Как будто поманивает меня кофию напиться, — задумчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на улицу. — Думала, конец мой приходит, Поленька. И все мне этот проклятущий доктор мерещится...

Пока Поленька возилась с кофейком в своей каморке, Матрена Ивановна с любопытством смотрела на улицу, не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху: по тротуару прямо к ее домишку шел доктор Осокин в своей папахе. Матрена Ива-

новна хотела закричать, но у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась: докторская папаха благополучно миновала ее. крылечко, а затем скрылась в воротах. Поленька наливала чашку кофе, когда в ее каморку вошел доктор; старая актриса слабо вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены Ивановны упала на пол.

— А я к вам зашел, — кротко проговорил доктор, останавливаясь в дверях, так что Поленьке не было никакой возможности убежать от сумасшедшего человека. — Одевайтесь и пойдемте, мне очень нужно вас...

— Как же это так?.. Я не знаю, не лучше ли в другой раз! — лепетала совсем растерявшаяся Поленька, закрывая шею худенькою косыночкой.

— Нет, сейчас, — настойчиво повторял доктор. — Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь.

Сначала Поленька перетрусила и даже подумала выскочить в окно, но потом опомни-

лась. Чего ей в самом деле бояться доктора, ведь сейчас выйдут на улицу, а там всегда народ, можно по крайней мере закричать караул. Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагал в совершенной темноте.

— Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрене Ивановне и предупредить ее?

— Это еще что за нежности? Вздор.

— Она больна...

— Ничего, не умрет.

Поленьке ничего не оставалось, как только покорно следовать за доктором, который повел ее на другой конец города к своей квартире, как догадывалась Поленька. Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы и только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, когда встречался перекресток. Так они благополучно дошли до самой докторской квартиры, и доктор был настолько любезен, что сам отворил дверь перед своею дамой и даже помог ей снять бурнус.

В приемной на столе ожидал гостью ки-

певший самовар, корзинка с сухарями и коробка конфет. Поленька окончательно смутилась и на случай запомнила выходную дверь, чтобы можно было убежать, а доктор молча указал ей на пустой чайник. Пока Поленька дрожащими руками заваривала чай, доктор тяжелыми шагами ходил по комнате и время от времени смотрел на нее. Она чувствовала на себе тяжелый докторский взгляд и еще сильнее смущалась. Доктор был в старом военном мундире и даже в крахмальной рубахе, которая, видимо, сильно его стесняла.

— Вы крепкий чай пьете или слабый? — решилась, наконец, Поленька прервать тяжелое молчание.

— Крепкий.

Получив стакан, доктор в упор посмотрел на Поленьку и с расстановкой проговорил:

— Вы, по-видимому, очень бедствуете, сударыня... Да, этого следовало ожидать, и я нисколько не удивляюсь...

Поленька вся вспыхнула и хотела что-то возразить, но доктор схватил её за руку и потащил к двери, которая вела в комнату Джойки. Распахнув дверь, доктор уступил дорогу

своей гостье и с каким-то беспокойством осмотрел всю обстановку только что меблированной комнаты. Она была вся отделана заново: стены оклеены розовыми обоями, на окнах висели шелковые драпировки, на полу лежал персидский ковер, у одной Стены под шелковым пологом стояла красивая железная кровать, покрытая белым покрывалом, между окнами приютился дамский письменный стол, в углу стояла этажерка с книгами, у окна дамский рабочий столик; комод, гардероб и умывальник занимали угол комнаты и были замаскированы низенькою ширмочкой. Везде были разложены в строгом порядке всевозможные вещи, необходимые в женском обиходе: туалетные принадлежности, альбомы, начатая женская работа, позабытая на окне соломенная шляпа и т. д.

— Кто же это у вас здесь живет? — удивилась Поленька, с любопытством рассматривая комнату.

— Кто здесь живет?.. Это комната нашей старшей дочери.

Поленька поняла все. Она страшно побледнела и едва могла дойти до своего стула за

чайным столом. Доктор опять шагал по комнате, и слышно было, как он тяжело вздыхал.

— Помните, Поленька, как тридцать лет назад вы играли в «Белой Даме»[242]? — заговорил доктор, усаживаясь на свое место к остывшему стакану.

Поленька молчала, опустив голову; по лицу у нее катились мелкие старческие слезы.

— Да, это было давно, очень давно, — продолжал доктор после короткой паузы. — Я тогда увидел вас в первый раз. На вас было простое белое платье, в волосах приколота белая камелия... О, я все это отлично запомнил!.. Вы тогда пели замечательно удачно, а я был молод... Конечно, вы понимаете, что из всего этого могло произойти?

— Доктор, я помню... но я была так глупа... Вы ухаживали за мной, но ведь тогда целый город сходил с ума от моей игры. Конечно, это было так давно, и кто мог бы ожидать... Вы что-то такое говорили мне, но я была еще так молода...

— Гм... да. И я тоже был молод и имел глупость думать, что двое молодых людей могли бы прожить недурно. Для меня это было ясно,

как день, потому что... потому что я слишком любил вас. Да, теперь я это могу сказать вам в глаза, а вы тогда не желали меня понять... Нас разлучили ваши театральные успехи, тот чад, которым вскружили вашу голову. Это вполне понятно: я был беден, а вас окружали богатые люди. Каждая женщина на вашем месте сделала бы то же, что сделали вы... Наша непоправимая ошибка заключалась в том, что мы думали только о себе... Я не мог полюбить в другой раз, а вы разменяли свою молодость на мелкую монету.

Доктор закрыл лицо руками, и Поленьке показалось, что старик тихо плакал.

— Доктор, простите меня, — шептала Поленька, прикладывая белый платок к глазам, как это делают на сцене «благородные отцы». — Простите, доктор.

Эта фраза заставила доктора вскочить. Он как-то дико посмотрел на Поленьку, махнул рукой и застонал — глаза у него были полны слез.

— Нам следует просить прощения вот у той, которая должна была жить вот здесь, — глухо проговорил доктор, указывая на «ком-

нату старшей дочери». — Мы убили своих собственных детей... Это страшная вина, которая не имеет искупления. Мне не дают покоя эти розовые детские лица... они стоят предо мной живые... О, я начинаю чувствовать, что схожу с ума!..

Доктор глухо зарыдал и отвернулся к окну. Поленька не плакала, но как-то тупо смотрела на потухавший самовар, который время от времени пускал какую-то одинокую жалобную ноту; она чувствовала, что умирает, раздавленная этою ужасною сценой.

Было уже темно, когда Поленька вспомнила, что ей пора домой. Доктор отправился ее провожать и был настолько вежлив, что даже предложил руку. Они шли все время молча, и только когда уже подходили к домику Матрены Ивановны, доктор проговорил:

— Надеюсь, вы не придадите никакого особенного значения сегодняшней сцене... На жизнь нужно смотреть с философской точки зрения. Мы все являемся только материалом в руках слепых законов природы.

Поленька ничего не ответила, молча пожала руку доктора и молча скрылась в комнат-

ке. Доктор несколько времени стоял на тротуаре, а потом проговорил:

— Она глупа, как всегда.

Сначала доктор машинально пошел домой, но когда увидел свою квартиру, его точно оттолкнула какая-то сила: что он будет там делать? Его что-то давило, и он чувствовал, что задохнется в своей комнате. Нужно было воздуха, как можно больше воздуха. После доктор не мог хорошенько припомнить, как он провел эту ночь; он проходил по грязным улицам Пропадинска до самого утра и вернулся домой в самом отчаянном виде: весь в грязи, изможденный и без папахи. Авель даже испугался, когда увидел своего барина в таком отчаянном виде.

В эту страшную ночь доктор еще раз пережил свою личную жизнь. Он с мучительною ясностью видел далекое прошлое, когда он только что приехал в Пропадинск молодым врачом. Тогда только что был открыт первый театр в городе, труппу для которого золотопромышленник Гуськов выписал на свой счет. Как новинка, театр привлекал к себе массу публики, и над всею этою публикой ца-

рила Поленька Эдемова, русоволосая красавица с удивительными глазами. Она была на опасной дороге, потому что слишком снисходительно относилась к окружавшим ее шалопаям и богачам-самодурам. Доктор увлекся ею и хотел спасти красавицу. В ней были еще та простота и наивная свежесть молодости, которые могли служить залогом успеха. Поленьке нравилось, что за ней все ухаживают, и она всех дарила своими улыбками, а в том числе и молодого доктора.

Как теперь помнил доктор плохой деревянный театр, плохо намалеванный занавес, плохой оркестр и грязную сцену, куда он пробирался с замиравшим) сердцем. Уборная Поленьки была сейчас направо от сцены, нужно было только подняться на три ступеньки какого-то деревянного помоста. Здесь всегда пахло свежею краской, сальными огарками, свежим деревом и еще чем-то таким, чем пахнет только за кулисами провинциальных театров. Поленька была одна в уборной, совсем готовая к выходу на сцену, и в последний раз осматривала себя в зеркало, когда в уборную вошел доктор.

— Вы нездоровы? — спросила Поленька, взглянув на доктора.

— Да, мне необходимо с вами переговорить, — деловым тоном заговорил доктор. — Есть у вас свободных пять минут?

— Говорите, только скорее... сейчас занавес.

Доктор, торопливо подбирая слова, начал говорить об опасностях, окружающих всякую театральную знаменитость, о том печальном будущем, которым выкупаются эти успехи, и после этого предисловия прямо предложил свою руку и сердце.

Поленька точно испугалась и побледнела. Она несколько мгновений молча смотрела на доктора, потом откинула назад свою красивую русую головку и проговорила:

— Доктор, мне некогда, занавес...

— Это не ответ.

— Мне жаль огорчить вас, доктор, но я... я... одним словом, вы ошиблись во мне.

От отчаяния и тех глупостей, какие делают люди в подобном глупом положении, доктор спасся тем, что всею душою отдался науке. Он бросил завязавшиеся знакомства, отказался

от общественной жизни и закупорился в четырех стенах своей квартиры, откуда показывался только по делам своей медицинской специальности.

Отказавшись от Поленьки, доктор совсем не думал отказываться от семейной жизни и только выжидал время, когда уляжется чувство к Поленьке, чтобы жениться с чистым сердцем на какой-нибудь простой доброй девушке и завести свое гнездо. Но год шел за годом, а на душе у доктора накипала какая-то ненависть к женщинам. Его радовало, когда он открывал какой-нибудь новый недостаток в женщинах. Конечно, Это — низшее существо сравнительно с мужчиной и никогда не выходит из потемок детского существования. В любви мужчины относятся к своим возлюбленным именно как к детям, с тою обидною снисходительностью, которая является оскорблением в отношениях между собой мужчин. Это глупое детство у женщины переходит прямо в старость с ее бесплодными сожалениями, мизантропией и ханжеством. Пять — шесть лет своего ребячьего счастья женщина выкупает ценой всего остального

бесцветного существования. Мужчина еще полон жизни, он в полном расцвете сил и рвется вперед, когда женщина продолжает жить только по привычке и сама начинает тяготиться своим бесплодным существованием. Разве женщина что-нибудь создала в науке или искусстве? Ей недоступны вершины человеческого сознания, и она умирает в потемках своего полусознательного существования.

Одним словом, доктор впал в мизантропию и тешил самого себя своими выходками против всех женщин на свете.

V

Вернувшись от доктора, Поленька серьезно захворала. Теперь пришлось ухаживать за ней Матрене Ивановне. На сцену опять явились таинственные мази и липовый цвет. Отвернувшись к стене, Поленька иногда потихоньку плакала, но Матрена Ивановна видела заплаканные глаза и возмущалась.

— Погоди, ужо я рассчитаюсь с этим мерзавцем, — грозилась Матрена Ивановна, не называя доктора по имени.

— Нет, он славный, — защищала Поленька

доктора.

— Хорош, очень хорош!

Матрена Ивановна имела полное право ожидать, что Поленька расскажет ей все, что с ней случилось, но Поленька упорно молчала и только тяжело вздыхала. Конечно, всякий другой на месте Матрены Ивановны спросил бы Поленьку прямо, что и как, но Матрена Ивановна прежде всего была гордая женщина и совсем не желала залезать в чужую душу. Кроме того, для Матрены Ивановны половина дела была совершенно ясна: доктор Осокин был кругом виноват, и она с ним разделается по-своему.

Когда Поленьке сделалось лучше и она могла обходиться без посторонней помощи, Матрена Ивановна первым делом, конечно, отправилась к доктору, вперед предвкушая удовольствие рассчитаться с этим извергом человеческого рода. Занятая своими размышлениями, Матрена Ивановна незаметно дошла до докторской квартиры. Двери были не заперты, как всегда, и Матрена Ивановна свободно проникла в докторскую приемную. Первое, что ее поразило, это холод давно

нетопленой квартиры и какая-то особенная пустота.

— Эй, Семен Павлыч, где ты? — окликнула Матрена Ивановна, оглядываясь кругом.

— Здесь, — послышался глухой голос из кабинета.

Доктор лежал на старом клеенчатом диване, одетый в старую военную шинель и в летней фуражке. Матрену Ивановну поразил его больной вид: это был какой-то другой человек, желтый, испитой, с темными кругами под глазами и лихорадочным) взглядом.

— Ты это что же, старый петух, тараканов, что ли, морозишь? — набросилась на него Матрена Ивановна.

Доктор быстро поднялся с дивана и как-то испуганно замахал обеими руками.

— Тише, тише... шшш! — зашипел он, как защищающийся гусь. — Она еще спит...

— Очень мне нужно, кто у тебя спит... мерзавка какая-нибудь.

— Ради бога, тише, — умолял доктор. — Она поздно встает.

Доктор на цыпочках вышел в приемную, тревожно посмотрел на дверь заветней ком-

наты и знаком пригласил Матрену Ивановну следовать за собой. Он приотворил дверь и показал глазами на обстановку комнаты. На кровати лежала Джойка и виновато виляла своим пушистым хвостом. Матрена Ивановна не знала, на кого ей смотреть: на комнату, на собаку или на доктора.

— Здесь живет моя старшая дочь, — проговорил доктор с серьезным лицом.

— Полно тебе, Семен Павлыч, добрых-то людей морочить...

— Спроси Поленьку, если не веришь: это наша дочь.

Матрена Ивановна вдруг испугалась, испугалась того спокойного тона, каким доктор разговаривал с ней. В голове Матрены Ивановны мелькнула страшная мысль, и она, чтобы успокоить самое себя, рассчитано-громким голосом спросила:

— Так... А где у тебя Авель-то?

— Авель?.. Он ушел... Деньги у меня украл и ушел.

— Да ты, послушай, не морочь, Христа ради... это с морковных пирогов у тебя ум за разум заходит. Если Авель деньги украл, так по-

чему ты его в полицию не отправил?

— Зачем в полицию? Я вчера лежал на диване, Авель вошел в кабинет, вытащил деньги из стола и ушел... Я все время смотрел на него. Он все это очень ловко сделал и, кажется, думал, что я сплю. Ему, вероятно, очень были нужны деньги.

— Нет, ты, батюшка, рехнулся... положительно рехнулся. Сколько денег-то было?

— Тысячи две было.

— Ах, боже мой, боже мой!

Доктор, кажется, не хотел ничего понимать и только несколько раз пощупал свою голову, точно сомневался в ее благополучном существовании.

— Спятил, совсем спятил, — решила Матрена Ивановна и совсем растерялась, не зная, что ей следует предпринять.

— Пойдем в кабинет, я тебе покажу что-то, — проговорил доктор.

Доктор долго рылся на своем письменном столе между бумагами и, наконец, отыскал объемистую тетрадь. Матрена Ивановна следила за ним, не спуская глаз. Она больше не сомневалась, что доктор сошел с ума. И на

чем человек помешался!

— Вот эта самая, — говорил доктор, похлопывая рукой по тетради. — Двадцать лет работы посажено в нее... да. Могу сказать, что первый строго математическим путем доказал истину неуничтожаемости силы и материи. Матрена, есть только одна точная наука, это математика, и вот я воспользовался ею.

— Ну, ну, почитай, что у тебя написано тут.

— «Закон неуничтожаемости жизни», — прочитал доктор заглавие рукописи. — Да ты поймешь ли что-нибудь?

— Пойму, пойму... читай.

— Я тебе прочту только конец. Только на днях удалось закончить... «Неуничтожаемость силы и материи пользуется репутацией вполне научно-установленной истины, — начал чтение доктор, — хотя доказательства этого положения вращались в сфере слишком грубых явлений внешнего мира. Мне первому, при помощи высшей математики, выпало счастье доказать эту грубую эмпирическую истину строго научным путем. Полученная формула в полном своем объеме выражается так: настоящий запас циркулирующих и ком-

бинирующих во вселенной сил и материи плюс весь запас органической жизни равняется всему запасу сил и материи, действовавших от начала мира и слагавшихся в необозримо пеструю амальгаму отдельных явлений. Запас силы и материи остается тот же, но этот длящийся в необозримом пространстве веков «плюс нарастающая органическая жизнь» с роковою силой прорывает заколдованный круг неизменного круговращения силы и материи; прогресс является именно в пределах этой разрастающейся органической жизни, а не в смене чередующихся комбинаций и развивающейся поступательно способности дифференцироваться. Этот плюс в своем бесконечном повторении превращается, наконец, в знак умножения. Таким образом, за внешним миром вечно слагающихся и разлагающихся сил и материй вырастает тот неизмеримо больший внутренний мир самых сложных и неуловимо тонких проявлений деятельности, который выдвигается далеко за пределы уничтожаемости сил и материй».

Доктор тяжело перевел дух, положив руко-

пись на стол. Матрена Ивановна сконфуженно смотрела куда-то в угол и перебирала рукой какую-то оборку на своем платье.

— Ну, Матрена, кто из нас сумасшедший? — спрашивал доктор, раскуривая папироску... — Читать дальше?

— Читай, Семен Павлыч.

— Хорошо... Только пользы тебе немного будет.

— Ладно, после успеем поругаться-то.

Докурив свою папироску и откашлявшись, доктор продолжал чтение своей рукописи. «А «свербящая похоть славы», окрыляющий жар молитвы, чистые восторги первой любви, муки уязвленного самолюбия, вечно томящая жажда неудовлетворенной жизни, насильственное заглушение законнейших требований человеческой природы, что это такое? Где мы будем искать тех математических равнодействующих, когда в этом необъятном океане человеческой скорби, мук и страданий крошечная человеческая радость исчезает, как утопающий в океане человек? Разве математическая формула, самая точная и гениальная, может непосредственно спасти

бедняка от страдания, общество от нравственной неурядицы?»

— Но тут, — заговорил доктор, откладывая в сторону свою рукопись, — явилась новая поправка. До сих пор дело шло о фактах и явлениях существующих, бралась действительность, но есть целый ряд жизненных явлений, где эта жизнь затаилась и приняла омертвелые формы. В большинстве недостает ничтожных пустяков, какой-нибудь случайности, чтобы именно здесь-то и вспыхнул огонь накопившейся жизни, чтобы развернулась роскошная форма нового существования, — как считать эти дремлющие силы, жизнь в возможности? А между тем не считать их нельзя, потому что на них затрачена огромная энергия, может быть в них-то и проявлялись бы высшие формы существования.

Матрена Ивановна качала головой и делала вид, что начинает понимать доктора.

— Вот, например, у меня есть семья, дочь в возможности... Я вижу ее, да, ее, мою дочь; она приходит сюда, разговаривает со мной... Удивляюсь, как это раньше я не мог догадаться: ведь она все время жила со мной, вернее

сказать, во мне... И как мне хорошо делается, как легко... Это высшее счастье, какое доступно человеку, именно жить повторенною жизнью, быть молодым во второй раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, а будешь жить только в новой, лучшей форме.

Слушая этот бред, Матрена Ивановна плакала.

У доктора Осокина оказалось тихое помешательство, то, что в психиатрии известно под именем idee fixe[243] Конечно, старик уже не мог заниматься частной практикой, а жить между тем было нечем. Матрена Ивановна напрасно разыскивала родных доктора по всей России и кончила тем, что взяла его к себе.

— Уж мне заодно с ними двоими нянчиться, — говорила Матрена Ивановна. — Все-таки в доме мужчинка будет...

В солнечные ясные дни часто можно встретить на улице сумасшедшего доктора, который в своей папахе задумчиво шагает по тротуару и вслух разговаривает с самим собою.

Первые студенты

I

Как-то странно сказать: мои воспоминания, потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня — так живо проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица... А между тем несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось пятнадцать лет назад, а то двадцать.

Да, двадцать лет тому назад я был большим подростком — самый «неблагодарный возраст», когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, какой наблюдается у живот-

ных в пору первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлял искать одиночества.

Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота, — я говорю о лете, когда все время было свободно.

Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, — было истинным наслаждением после школьных занятий в среднеучебном заведении. Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря.

Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мочги. Вечерело. В лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск

Мочга — стоило только спуститься по реке версты две, а там и прииск и знакомые мужики. Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее. Как я ни спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом принимали самые фантастические очертания, и я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска.

Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна: весь лог, точно молоком, залит густым белым туманом, по уторью у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки, пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой; начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные брошенной сверху хворостиной или валежником, — нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат боталами пущенные на волю лошади. Из плывущего уров-

ня тумана далеко горбится крыша промывальной машины, точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы — около огней паужнают пошабашившие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом, бабы пробуют ложками свою стряпню, кое-где к огню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу.

Балаган старого кержака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы, и я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со снохой. Звонко тявкнула на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепко и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом.

— Мир на стану... — проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра, и только хотел ударить приятеля по плечу, но вовремя удер-

жался: это был совсем не он, а какой-то незнакомый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове.

— Откедова господь несет, родимый мой? — заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек.

— Куды девал товарища-то?..

— А разве он не приходил?..

— Нет, не слыхать... Может, к другому к кому в балаган завернул, да как будто не тово, не слышно.

— Ну, значит, разошлись.

— Известное дело: в лесу-то часто глаза отводит, особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выдешь наоборот... Как помоложе-то был, так лесовал тоже, с ружьишком, значит, и очень хорошо это знаю. Эк-ту одинова верстов с двадцать задарма прочесал... Вот оно какое это самое дело!..

По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивши, а так как была средина недели, когда ему выпивки не полагалось, то

причиной веселью был, конечно, молодой человек в пуховой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко: «родимый мой». Ворот красной, запачканной в приисковой глине рубахи заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина; лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины; Сын Потапа — Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел исподлобья, как волк. Это вообще был неприветливый и неразговорчивый малый, уродившийся ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада — высокая, чернобровая, сильная, таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих

старух, точно она раз и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством — к ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое с легким загаром и румянцем; черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей.

— Можно заночевать у вас? — спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану.

— Заночуй, коли глянется... — отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. — Только у нас там ребенчишко... в балагане, значит. Внучок мой... ну, так, пожалуй, тово... препятствовать только будет. Тоже господское дело, а он мужик, разинет хайло-то...

— Оно точно, что не способно... — заметила угрюмо Архиповна. — Животом скудается третью неделю ребенок-то, замаялись с ним...

— Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в контору ночевать? — неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе.

— В сам-деле, Михаил Павлыч... — подхватил Потап. — Это куды порезонистее, чем в балагане, потому ребенчишко... не укажешь тоже ему, пострелу.

Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться, но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца — это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке.

— Так пойдемте... — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. — Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай, Архиповна... Когда ко мне в гости-то придешь?..

— А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду... Водки поболе запасай...

— Ах ты, моя матушка... — ласково протя-

нул молодой человек жиденьким тенорком и задумчиво засмеялся.

Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа:

— Это что старуха-то твоя сердится все на меня?

— А от глупости от своей от старой, Михаил Павлыч... — бормотал Потап, забегая вперед. — Вот я, значит, как уподобился шкаличку, ну, ей и обидно. Одно слово: баба... волос долог, и чтобы настоящего... и нет ево, настоящего-то. Как перед истинным Христом, родимый мой...

Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору.

— Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я.

— А так... ишь, место где нашла! Еще испугает, пожалуй...

Остановившись, старик каким-то униженным тоном прибавил:

— Михал Павлыч, родимый мой...

— Чего тебе?

— Ах, родимый мой, разозлил ты только меня... а? Ну, какой я теперь человек... так, только замахнулся.

— Да ведь водки нет больше: всю выпили.

— А в конторе?.. Эх, Михал Павлыч, уж я заслужу, родимый мой... верно тебе говорю. Только один стаканчик бы...

— Хорошо. В конторе, кажется, еще оставалась водка.

— Уж я знаю... верно Михал Павлыч, родимый мой, да я... вот сейчас провалиться...

Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы, потом перешли плотнику и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами.

— Михаил Павлыч, вы извините меня... я не помешаю вам? — спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе.

Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и

опять добродушно засмеялся, — мне нравилось, как он смеялся.

II

— Петька чай пьет, — проговорил Михаил Павлыч, бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой конторы.

Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. Приисковая контора состояла всего из одной длинной комнаты, выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, железными банками из-под золота, гильзами и т. д. Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечистый черноволосый мужчина в золотых очках и читал книгу — это и был Петька, как я имел право догадаться.

— А я гостя привел, Петька, — торопливо заговорил Михаил Павлыч, по пути скидывая свою сермяжку. — Позвольте отрекомендоваться: Михаил Павлыч Рубцов и Петр Гаврилыч Блескин, студенты казанского университета... Просим любить и жаловать.

Мне оставалось отрекомендоваться, в свою

очередь, и помню, что я сильно сконфузился, — меня резнуло по уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был воспитанник среднеучебного заведения и притом находился в самом неблагодарном возрасте начинающего молодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая великолепная темная борода, тогда как воспитанникам среднеучебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взглянул на приятеля с немым укором, дескать, зачем ты привел сюда эту дрянь...

— Ага... воспитанник... так!.. — повторял Михаил Павлыч и, повернувшись на одной ножке, каким-то пискливым голосом спросил — А вы с чем чай употребляете: с ромом или с коньяком?.. Ни то, ни другое?.. Жаль, значит, Америки не откроете. Та-та, ведь с нами Потап пришел, вот и компания... Эй, Потап, гряди в гридницу, и возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице.

Потап не заставил себя просить и высунул

в приотворенную дверь одну голову с усиленно моргавшими глазками.

— Михаил Павлыч, родимый мой...

— Да иди, черт деревянный!..

Перешагнув порог, Потап остановился у самых дверей я забавно скосил глаза в сторону Петьки — я вполне понимал старика.

— Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил Павлыч, вытаскивая бутылку с водкой. — Ого, нагнал он на тебя холоду...

— Уж это точно... Петр Гаврилыч постепеннее много будут вашей милости, Михаил Павлыч. Уж ты извини меня, родимый мой, на глупом слове...

— Верю... Ну, будет тебе дурака-то валять, Потап. Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе...

Потап дрожавшей рукой принял стаканчик, перекрестился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, что Михаил Павлыч даже крякнул от удовольствия.

— Вот это я люблю... — похвалил он старика, налил себе стаканчик и фальшиво запел:

Мы петь будем и гулять будем,
А и смерть придет — помирать

будем.

Пока Михаил Павлыч выпивал свою порцию, Потап почтительно выпятился в дверь.

— Се что красно и добро есть: живите, братие, вкупе, — проговорил Михаил Павлыч, пряча бутылку, — а посему, Петька, мы будем чаи распивать.

Петька молча налил нам стаканы и опять уткнул нос в книгу, точно он был чем-то очень недоволен.

За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку конторы, то есть две кровати, сооруженные на живую нитку, железный сундук, служивший кассой, дрянное ружье на стене, висевшую в углу волчью шубу, гитару и большую полку, набитую книгами. На окне тоже лежали книги, весы для приемки золота, приготовленный для работы хороший микроскоп, банка с плававшей лягушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употребляются при химических опытах.

— Вы что же это, господин воспитанник, чаю мало пьете? — спрашивал Михаил Павлыч, когда я отказался от четвертого стакана. — Сие не есть укоризненно даже и детско-

му возрасту... Петька, валяй мне пятый сосуд, ибо и пити вмерти и не пити вмерти, так лучше ж пити и вмерти!.. Так, молодой человек?..

Михаил Павлыч говорил за всех, пил стакан за стаканом, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия даже болтал короткими ножками. Он вглядывался в меня прищуренными близорукими глазами, улыбался и продолжал болтать, как школьник.

— Ух, задохся, отцы мои!.. — заявил он, наконец, и распахнул окно. — Этакая благодать стоит... Петька, очнись, ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окно-то...

Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно замечательно хороша... От самой конторы разлился по всему логу волокнистый туман, за ним, у опушки леса, как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а над всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два коростеля, смутно доносились звуки лошадиных ботал и лай перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя ночного воздуха и несла с собой

смолистый аромат елового леса и душистых лесных трав. Я даже пожалел, что ушел из балагана Потапа в контору, — там у огонька так хорошо теперь.

Мы заговорили об охоте. Михаил Павлыч тоже был охотник, хотя по близорукости плохо видел дичь.

— А вот мы завтра утром под Липовую гору сходим, — говорил он, высовываясь в окно и всей грудью вдыхая ночной воздух. — Вёдро установилось; загубим рябцов пять... Петька, слышишь?

— Что такое?

— Тьфу ты, окаянная душа... Рябцов, говорят тебе, принесем.

— Ага... отлично.

Петька был тоже в простой ситцевой рубахе, в шароварах и в такой же шерстяной поддевке, как у Михаила Павлыча. Заложив ногу за ногу, он продолжал читать и время от времени сосредоточенно хмурил брови.

— Это ваша гитара? — спросил я Рубцова, когда он заметно притих и задумчиво смотрел куда-то в туман.

— А вы играете?

— Немножко.

— Вот это великолепно...

Не помню хорошенько, с чего я начал показывать свое искусство, но потом заиграл известную казанскую студенческую песню:

Где с Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Тиногрязный Булак
обнимается.

Петька оставил книгу и начал смотреть задумчиво на гитару. Рубцов наклонился к моему плечу, и я чувствовал на своей щеке его горячее дыхание, а потом он со слезами на глазах обнял меня и даже поцеловал.

— Голубчик, миленький... вот уважил-то!.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Ну, еще разик... Петька, очнись!.. Вот именно так:

Тино-гря-а-азный Бу-лак
обнима-а-а-ается!..

Рубцов вытащил спрятанную бутылку и залпом выпил новый стаканчик. Он походил на сумасшедшего и несколько раз бросался обнимать Петьку и кончил тем, что швырнул

его книгу в угол.

— К черту... все к черту!.. — кричал он, бегая по комнате. — Gaudeamus, juvenes dum sumus....[244] А ну-ка еще эту, ну, как ее... ее... Да вот:

По чувствам братья мы с тобою...

Я знал и «эту». Рубцов пел под аккомпанемент с увлечением, хотя страшно фальшивил и сердился на самого себя. Петька тоже подтягивал свежим ровным баском, какой бывает только у таких здоровяков. В порыве восторга Рубцов как-то машинально хлопнул второй стаканчик, заметно покраснел и долго смотрел на меня улыбающимися, но печальными глазами — последнее было его особенностью.

— Голубчик, понимаете ли вы... ах, нет, надо это пережить... да, пережить!.. — торопливо заговорил он, роняя слова. — Ведь это огнем по сердцу... это жизнь... Петька, помнишь?..

Схватившись за голову, Рубцов заплакал. Это было так неожиданно и непонятно для меня, что я оставил гитару и смотрел то на хо-

дившего по комнате Рубцова, то на спокойно попыхивавшего папироской Петьку. Заметив мое смущение, Рубцов улыбнулся сквозь слезы и взял у меня гитару.

— Позвольте, голубчик, я вам сыграю мою единственную... — говорил он, усаживаясь с гитарой на окно. — У меня, как у волка, всего-навсего одна песенка... Вперед извиняюсь за свое козлогласие.

Своим фальшившим тенориком Рубцов запел старинный романс:

В хижину бедную.
Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь...

— Нет, это не то... — заговорил он, оставляя гитару. — Ну-ка еще... Помните, у Иловайского во всеобщей истории есть анекдот? Пировал король Артур со своими рыцарями — может быть, и не Артур, ну, да не в этом дело! — на дворе темная осенняя ночь; в зале, где пировали рыцари, горели огни, и вдруг влетает маленькая птичка... Рыцари задумались, а птичка улетела в окно. Один рыцарь встает и говорит: «Король, эта птичка напоминает мне

человеческую жизнь, у которой темно впереди и назади...» Голубчик, вот и студенческие песни то же, что птички, — они напоминают нам о нашей жизни... Кажется, Петька, я начинаю завираться и немножко того... что-то как будто не подходит... Ну, да все равно, если не теперь, так после поймете меня. Нет, мне решительно душно здесь — пойдемте на воздух, господа...

III

На поляне, между конторой и какими-то амбарами, кучером Софроном был разложен небольшой костер. На огонь появился опять Потап и бестолково суетился, мешая Софрону.

— Ты еще все здесь? — удивился Рубцов.

— Родимый мой... Михаил Павлыч... — бормотал Потап и расслабленно махал рукой. — Уважил ты меня... то есть, ах, как уважил!..

Софрон, молчаливый, красивый парень, как-то брезгливо старался не замечать пьяного старика и несколько раз, будто невзначай, толкнул его локтем. Было уже часов девять. На восточной стороне неба, из-за Сосуна-Камня, всплыла длинная туманная полоска и

медленно тянулась к ярко блестевшему месяцу; зубчатая линия ельника, окружавшего прииск со всех сторон, точно была посеребрена. Горная даль, видневшаяся в приисковую просеку, совсем потонула в сквозившей белесоватой мгле. Ближе лес, кусты и пригорки слились в сплошные темные массы. Густой туман по-прежнему заволакивал весь прииск, и только кой-где еще мелькали догоравшие огоньки, — народ спал, завтра нужно было подниматься на работу вместе с солнцем. Воздух был теплый, и над огнем скоро с тонким писком закружились неугомонные комары. Изредка налетала ночная птица и, как брошенный камень, опять пропадала в окружавшей темноте.

Мы поместились на разостланной сермяжке Рубцова и долго сидели около огня молча, покуривая папиросы. На минутку пришел Петька, посидел на корточках около огня, помолчал и поднялся уходить.

— Петька, ты куда? — окликнул его Рубцов.

— А спать... — лениво ответил Петька, потягиваясь.

— Ну, черт с тобой...

Рубцов, видимо, был недоволен бесчувственностью приятеля и нервно теребил свою жиденькую бороденку.

— Эх, выпить надо... — вспомнил он и послал Потапа за бутылкой.

Старик, как собака, все время сидел в почтительном отдалении и ждал поживы от загулявшего барина.

— Петр Гаврилыч к черту меня послал... — объявил Потап, появляясь с бутылкой. — И еще такое словечко завернул, родимый мой... Не слушай, теплая хороминка!..

Выпив стаканчик, Рубцов опять повеселел и налил водки Потапу за труды. Поплевывая в огонь, он начал расспрашивать меня, где я учусь и куда думаю поступать по окончании курса.

— В университет?.. — повторил он задумчиво. — Отличное дело... Эх, я сам бы опять поехал учиться туда, с первого курса... Ей-богу!..

— Вы кончили курс?

— Я?.. Я-то не кончил, а вот Петька кончил — кандидат естественных наук. Ну, да это

все равно... Не знаю, как вам удастся, а мы пожили в свою долю. Поедете по Волге мимо Казани, поклонитесь от меня... так попросту: снимите шапку и в пояс. Да, было пожито, молодой человек... Хороших людей видели, умные речи слушали, а вот теперь на свежую воду выплыли...

Увлекшись студенческими воспоминаниями, Рубцов с воодушевлением рассказывал о своей жизни в Казани — о профессорах, о сходках, о товарищах, о хороших книжках. Понятно, что я слушал его, затаив дыхание: это был первый живой человек, который заговорил о том, о чем приходилось читать только в романах. С другой стороны, я не мог не сознавать своей пассивной роли в этой сцене — Рубцову необходимо было высказаться, и вот он обрадовался живому человеку. С своей стороны, я мог только рассказать о скучной и однообразной жизни «воспитанника среднеучебного заведения», причем постоянно берегся, чтобы не сказать чего-нибудь глупого. Рубцов замечал мои усилия и улыбался своей хорошей улыбкой. Он обладал секретом держаться с той простотой, которая

так обаятельно действует на неопытную юность: я был в восторге от моего нового знакомого и чувствовал, как моя голова начинает сладко кружиться от поднятого в ней вихря мыслей. В самом деле, это было первое пробуждение, и будущее рисовалось в такой заманчивой радужной перспективе. Рубцов, кажется, понимал мое настроение и сам заражался юношеским восторгом.

— Знаете, что я вам скажу? — говорил Рубцов, раскуривая папиросу не с того конца. — Мы никогда не замечаем своего счастья, как не замечаем своего здоровья... Вернее сказать, мы понимаем счастье только задним числом. Вы это после поймете, когда жизнь помнет вас хорошенько... да. Может быть, поймете и то, почему Рубцов так глупо разревелся давеча над студенческой песенкой... Да, батенька, и глупости наши имеют свою цену, поелику в них кроется зерно поэзии.

Рубцов первый засмеялся над своим философским заключением, тряхнул головой и заговорил о естественных науках. Самая непоследовательность в мыслях Рубцова имела для меня необъяснимую прелесть, потому что

как нельзя более отвечала моему душевному настроению. Естественные науки приклеились необыкновенно плотно к казанским профессорам, и я чувствовал, что именно вот за эти естественные науки и отдам всю душу — воображение рисовало самые фантастические картины занятий в химической лаборатории, физиологические опыты, чтение хороших, умных книжек.

— Теперь все это для вас не так еще понятно, — ораторствовал Рубцов, складывая ноги калачиком, — а вот когда вы выплывете на свежую воду, как мы, да потретесь среди людей, ну, тогда и поймете... Наука — святое дело, она образует великую семью. Вот нас с Петькой судьба забросила на Урал, вон в какой медвежий угол; да здесь с ума сойдет живой человек, если бы не наука. Будет время, и вы помянете Рубцова добрым словом.

В порыве охватившего его увлечения Рубцов предложил мне посвятить меня в тайны первоначального естествознания, чтобы подготовиться постепенно к университетским занятиям. Мне до окончания курса оставался целый год, и нужно было дорожить време-

нем. Конечно, я принял это великодушное предложение с восторгом, и, чтобы скрепить наш случайный союз, мы опять играли на гитаре и пели студенческие песни. Отрезвившийся на воздухе Рубцов опять опьянел и опять готов был расплакаться.

— Родимый мой... Михал Павлыч... — заговорил Потап, пользуясь хорошей минутой. — Стаканчик бы... а?.. Заслужу...

— Отвяжись... надоел!.. Разве хорошо так приставать?..

— Сам знаю, что нехорошо, родимый мой... Уж што тут хорошего, известное дело: одна наша слабость...

— Ну, хорошо: я тебе дам стаканчик, а ты спой, знаешь, ту песню, которую я люблю...

— Изуважу... Это «На заре-то было, да на утренней»?

— Да, да...

Выпив стаканчик, Потап присел к огоньку, приложил руку к щеке, закрыл глаза и еще сильным голосом затянул проголосную уральскую песню:

На заре-то было, да на утренней,
На восходе-то красного солныш-

ка...

Нужно отдать справедливость Потапу, что он пел мастерски, с той захватывающей душу энергией, как поют старые проголосные песни одни раскольники. Рубцов как-то весь распустился и размяк, напрасно стараясь подпевать старику. Песня катилась по всему прииску и необыкновенно гармонировала с этой душистой летней ночью, с этим бесконечным лесом, с догоравшим огоньком и молочной, шевелившейся кругом нас мглой. Некоторые ноты Потап брал всей грудью, и песня лилась далеко-далеко, отдаваясь эхом по всему логу.

Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!..
По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали.
Мы гуляли — не нагуливались.
Мы сидели — не насиживались...

— «Эх, хорошо старый черт поет... — шептал Рубцов, закрывая глаза от удовольствия. — Да... «множко гуливали...» «Мы сидели — не насиживались...»».

Но в этот момент из ночного тумана, точно

навстречу стариковской песне, чистою и звонкою, как серебро, нотой, поднялась другая — пел свежий женский голос, и песня то замирала, то опять поднималась, точно она плыла вместе с этим туманом. Рубцов вздрогнул, открыл глаза и, как очарованный, долго прислушивался к доносившимся звукам. На лице у него выступили розовые пятна, глаза засветились... Потап тоже остановился и, прислушавшись, проговорил:

— Ишь, шельма, это моя Солонька заливается...

Рубцов неожиданно вскочил и, как был, без шапки и в одной рубахе, побежал под гору и сейчас же скрылся в тумане. Потап ринулся за ним.

— Михал Павлыч... родимый мой!.. невозможно!.. — кричал старик, тоже исчезая в тумане. — Ужо тебя старуха-то!.. Миха-ал...

Слышно, было, как звонко гудели шаги бежавших. Кто-то, кажется, упал в воду, потом из тумана донеслись замиравшие крики Потапа: «Михал Павлыч... родимый мой!» А Солонька продолжала свою песню с теми необыкновенно высокими переливами, как

поют кержанки: отдельные звенья песни то замирали, то опять поднимались, и казалось, что она все удалялась куда-то в лес.

IV

Вместо того чтобы ранним утром отправиться на охоту под Липовую гору, как мы уговорились с вечерах Рубцовым, я проспал самым бессовестным образом и проснулся только в десять часов, когда летнее солнце заливало своим горячим светом всю комнату. Меня разбудил чей-то тихий смех и молчаливая возня.

Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где я. Рядом со мной на походной кровати мертвым сном спал Рубцов, и это объяснило все — я припомнил свое вчерашнее знакомство до мельчайших подробностей.

На письменном столе, как и вчера, стоял кипевший самовар, а около него с книгой в руках сидел Блескин. Я несколько минут наблюдал идиллическую картину, которая вызывала разбудивший меня смех. По письменному столу бродил маленький серый котенок, который и составлял главное действующее лицо происходившей немой сцены. Блескин

укладывал какую-то большую тетрадь на самый конец стола таким образом, что один конец выдавался вперед; на этот выдавшийся конец тетради он помещал кусочек булки, обмакнутый в сливки. Серый котенок своими умными зелеными глазами долго наблюдал устраивавшуюся ловушку, несколько раз обходил кругов самовара, пробовал качавшуюся тетрадь своей мягкой бархатной лапкой и кончал тем, что не мог удержаться от соблазна — он осторожно полз по тетради к кусочку, а потом летел на пол вместе с ловушкой. Это и заставляло Блескина смеяться до слез. Испуганный собственным падением, котенок несколько времени сидел под табуреткой, потом съедал приманку и кончал тем, что опять взбирался на стол. Блескин смеялся тихим душевным смехом, откинув свою красивую голову назад, и я никак не мог узнать в нем вчерашнего серьезного студента, который показался мне таким недоступным и сердитым человеком.

Разыгравшийся котенок кончил тем, что уронил со стола стакан с чаем и, как молния, исчез в окне. Это вызвало уже настоящий хо-

хот Блескина. Рубцов проснулся, посмотрел крутом заспанными красными глазами и бессильно уронил в подушку свою трещавшую от похмелья голову.

— Петька, перестань дурачиться... — ворчал он, закрывая глаза.

Через полчаса мы уже сидели за чаем. Блескин опять читал свою книгу, котенок спал у него на плече. Рубцов пил свой стакан молча, все ощупывал свою голову, морщился и старался смотреть куда-то в угол. Явившийся штегерь Епишка, вороватый мужик с разбегавшимися глазами, нарушил эту молчаливую сцену.

— Петр Гаврилыч, пожалуйте на машину... — отрапортовал Епишка, вытягиваясь у порога во фронт. — Маленькая неполадка случилась. Тоже вот отвод надо сделать черновлянам... Делянку новую просят.

Блескин молча поднялся с места, снял с гвоздя суконную синюю фуражку, глубоко надел ее на голову и молча последовал за штегерем. Мы остались в конторе одни. Мне предстояло поблагодарить за ночлег и отправиться восвояси.

— Вы куда это? — удивился Рубцов, когда я начал прощаться. — Нет, батенька, так порядочные люди не делают... Сначала позавтракаем, а потом побеседуем. Я ведь помню все, что вчера говорил вам. Только вот в голове эскадрон ночевал...

Рубцов вытащил из угла непочатую бутылку водки и вылил большую рюмку.

— Перепаратил вчера малость, — объяснил он, пряча бутылку и рюмку.

Выпитая рюмка произвела надлежащее действие, и Рубцов точно стряхнул с себя тяжелое похмелье. Мы опять говорили о естественных науках, перебрали лежавшие на полке книги, и тут я в первый раз познакомился с ботаническими картинами Шлейдена, с Молешоттом, Либихом, Циммерманом, Бюхнером и т. д. Отдельно стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудона, Добролюбова и Писарева. Рубцов брал одну книгу за другой, читал из них свои любимые места, а одну растрепанную книжку даже поцеловал. Вернувшийся с прииска Блескин застал нас за микроскопом — мы рассматривали кровообращение в перепонке живой лягушечьей ноги.

— Ну, что? — коротко спросил Рубцов приятеля.

— Ничего... — как-то нехотя ответил Блескин, усаживаясь на свое любимое место к столу. — Этот Епишка — настоящий дурак. Наврал бог знает что...

— Э, батенька, старая истина!.. — засмеялся Рубцов добродушно. — Это настоящая bestia priiskoviana[245].

После завтрака из великолепных рябчиков и редиски мы отправились с Рубцовым на прииск.

— Надо немножко проветриться, а то главизна зело трещит, — объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца.

Днем прииск представлял собой необыкновенно пеструю картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выработки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного песку. Главное движение сосредоточивалось по течению реки Мочги, которая вверху была запружена, а внизу разбегалась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. Вода была желтая и глинистая; по краям канавок и на берегах за ночь образовался целый слой

липкой, специально приисковой тины. По извилистым дорожкам бойко катились приисковые двухколесные таратайки. В выработках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердов пестрели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали по траве забытые ребятишки. Мы обошли весь прииск, хотя солнце начинало уже припекать без всякого милосердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отвечать на вопросы ходивших за ним рабочих.

— Да ведь Петр Гаврилыч был здесь, что вы пристали ко мне? — ворчал он.

— Нет, уж ты, Михал Павлыч, как ни на есть, погляди, — бормотали голоса. — Уж мы тебя знаем... Петр Гаврилыч точно што были, только ведь к ему тоже не вдруг подойдешь.

— Ругается?.. — с улыбкой спрашивал Рубцов.

— Кабы ругался, так ищо ничего... Хуже: молчит.

— Вот и подите потолкуйте с ними, — обратился Рубцов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне. — Нужно, чтобы человек ругался.

Мы побывали на промывальной, где попыхивала паровая машина, потом заглянули в выработку Потапа и остановились отдохнуть у Потаповского вашгерда. От выработки, где работали мужики, до вашгерда было сажен сто. Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их наверх, на особые деревянные подмостки, откуда их наваливали в таратайку, и десятилетний внучек Потапа вез добычу к вашгерду, где работали одни бабы — старая Архиповна и жена Гордея растирали пески железными лопатами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на грохот новых песков или сгребала нараставшие кучи галек.

— Бог на помочь! — здоровался Рубцов, когда мы подошли к бабам. — Ну что, Архиповна, много ли намыла сегодня?

— С полфунта будет, — ответила Архиповна и неприветливо покосилась на нас.

— Маленьких полфунта.

— Все наши, и большие и маленькие.

— Так...

Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне поддержать разговор. Солонька не обращала на нас никакого внимания и ловко

подбрасывала песок на вашгерд: железная лопата у нее в руках походила на какую-то игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую красавицу — она именно хороша была на работе. Из-под надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым, здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу.

— Эк тебя взяло с этим табачищем... — заворчала Архиповна, сердито отплевываясь. — Шел бы ты, Михал Павлыч, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут делать...

Эта выходка заставила Солоньку едва заметно улыбнуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, который вдруг как-то съежился и торопливо сосал погасшую папиросу.

— Чистый дьявол эта старуха!.. — ругался Рубцов, когда мы шли по прииску домой. — И задними и передними ногами бьет... Ну, да это все равно!.. Слышали, как вчера вечером

пела Солонька?..

День выдался необыкновенно жаркий, так что накаленный воздух переливался и струился, как вода, что бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, не шепталась трава, не слышно было птиц, только неугомонный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Несколько артелей пошабашило. Виднелись группы обедавших рабочих. В одном месте около балагана успевшие отобедать спали на траве в самых отчаянных позах, точно раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной работы. Попался штегерь Епишка, бежавший куда-то с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин сидел у окна в одной ситцевой рубахе с расстегнутым воротом, а котенок ползал у него по широким плечам.

У самой конторы нас догнал Потап и без всякой церемонии объявил свое непременное желание «починить башку».

— Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Рубцов. — Что у меня разве кабак?..

— Невозможно, Михал Павлыч... мне просто житья от моей старухи не стало, а все из-за тебя. Поедом ест старая крымза... А уж я услужу, Михал Павлыч, родимый мой!..

Рубцов только засмеялся и подал старику в окно целую бутылку водки.

— Всю мне, Михал Павлыч? — изумился Потап, не решаясь принять свалившееся с неба сокровище.

— Всю... Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост, надоел!..

Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побежал через прииск к своему балагану, но вернулся с полдороги и скрылся где-то в кустах.

За обедом и после обеда опять шли те хорошие молодые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил больше Блескин и, нужно отдать ему справедливость, говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснял великое значение естественных наук, особенно химии, и самым простым языком рассказывал историю каждой науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, физиология — все это были такие великие науки, без кото-

рых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни истории, ни философии в настоящем смысле слова еще и не было, потому что все эти науки должны основаться на естествознании, которое еще делает свои первые шаги.

Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив строфы из Гейне:

У меня глубоко в сердце
Золотой поставлен столик...
И, сидя на табуретках,
В карты дамочки играют...
Но с лукавою улыбкой
Все выигрывает Клара...

С прииска я ушел только вечером, унося в своей охотничьей сумке штук пять хороших книжек. Это было такое молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хорошо, просто и открыто; вот в этих книжках, тянувших сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже смеялся от радости.

На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень веселую группу: старый Потап, кучер Софрон и штегерь Епишка сидели с красными лицами на траве, — они, очевидно, угощались даровой господской водкой.

V

Все лето для меня прошло в каком-то чаду, хотя я жил только, собственно, на Мочге, куда отправлялся каждую неделю раза три. Студенты оставались прежними студентами, и моим идеалом сделалось быть таким же естественником, как Блескин. Да, это был настоящий идеальный человек, и каждый раз я открывал в нем какое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало солидности и той выдержки характера, которая так неотразимо действует на молодую натуру.

Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Действительность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мочге, где всегда было так упоительно хорошо... Много лет прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Ляйеля, «Мир

до сотворения человека» Циммермана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Происхождение видов» Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие книжки перемешивались с хорошими разговорами, тихими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и мне от души жаль ту молодежь, которая не испытывает ничего подобного, да и неспособна испытать: не те времена, а «что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни».

Погода все время стояла отличная. Изредка перепадали редкие дожди, точно затем только, чтобы горы умылись и лес зеленел еще красивее.

— Вот вам, братику, великая книга, читайте ее! — ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес. — Тут все: и ботаника, и геология, и зоология, и поэзия... Остальное все бирюльки и пустяки.

— То есть что остальное-то? — лениво

спрашивал Блескин.

— А все остальное, чем тешились раньше: стишки, музыка, чувствительные романы, картинки разные, идолы, ну, вообще, так называемое искусство и quasi[246]-наука. Гиль и ерунда.

— Однако ты плачешь над гитарой?..

— Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывается. Значит, еще не укрепился в настоящей поэзии, а нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло-сладкое, вообще гнусное...

— Ну, это уж ты врешь, братец.

— Как вру?

— А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необходимо, только хорошее и здоровое искусство: и музыка, и пение, и живопись, и скульптура.

— Да, нужна фотография, нужны рисовальщики для хороших сочинений, нужны, пожалуй, две — три хороших песенки, нужно умение приготовить из папье-маше манекена, нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда играет Софрон на своей гармонии, нужны национальные танцы, чтобы встрях-

нуться, и только.

Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой для споров, и Рубцов в заключение всегда ругал приятеля «расслабленным эстетиком».

— Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, которая корячится в банке, все твое искусство сидит, — кричал Рубцов, бегая по комнате.

— Ну, это, брат, началась базаровщина... — отвечал обыкновенно Блескин и смолкал.

Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вместе они составляли великолепную пару. Именно они особенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. От заигрываний с меньшим братом в равноправность удерживало обоих известное чувство меры, да и приисковые рабочие как-то совсем не подходили под идеальное представление настоящего мужика. У Рубцова, правда, была слабость почитать хорошую книжку кому-нибудь из молодых рабочих, но результаты появлялись са-

мые плачевные: слушатель потел, ежился и кончал тем, что или просил на водку, или начинал прятаться. Единственным плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил грамоте кучера Софрона и штегеря Епишку. Подвергался опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел читать гражданскую печать.

— Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не поделаешь, — решил Рубцов. — Какие-то они очумелые совсем... Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся, он — свое. Выучил Епишку с Софроном читать, дал им хороших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да какой-то солдатский песенник.

— Значит, не умеешь взяться за дело... — коротко объяснял Блескин.

— Ну нет, тут нужно со школы начинать, братику... Может быть, бабы лучше пойдут. Как-нибудь надо попробовать с Архиповной.

— Да она грамотная, кануны «говорит» по покойникам.

— Ну, тогда с Солонькой... Бойкая девка.

— Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой, на помещичий манер... Ты к тому же

и стихи Гейне любишь, а там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется.

— Ну, ну, пошел! Тебе бы с Архиповной кануны говорить.

Приисковые рабочие по вечерам часто собирались около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала балалайка, и непременно плясали. По праздникам приходили девки и «заводили» хороводные песни. Блескин посылал им самовар, чаю и пряников, сам подолгу стоял на крыльце и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно, не мог смотреть с таким философским спокойствием на живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, где пел песни и плясал с замечательным искусством, особенно когда выходила на середину круга подсадистая Солонька.

— Ай да Михал Павлыч, ловко откалывает!.. — восхищались все рабочие. — Форменно... Ну-ка, Солонька, подкозырни барину-то.

Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных достоинств — это было просто обидно, хотя Рубцов сам любил посмеяться над этой особенностью народного пони-

мания.

— Все-таки добрым словом помянут: «Ловко плясал Михал Павлыч!» — смеялся он своей грустной улыбкой. — Ведь если разобрать, так целая трагедия античная получится из этого непонимания.

Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами, а где попадались осины — этот лес точно был обрызган кровью. Время для охоты наступало самое лучшее, но мне приходилось думать об отъезде. На Мочге все было по-прежнему. Только раз мне пришлось сделаться невольным свидетелем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно паслись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опушке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и от щекотки заливалась своим звонким смехом.

— Отстань, некошной!.. — кричала она, де-

лая слабую попытку освободиться от барских объятий. — Я вот тебя так окрещу уздой-то... Эк, привязался!..

Рубцов что-то шептал ей на ухо и продолжал целовать. Мое положение было самое глупое, какое только может выпасть на долю недоросля. Оставалось ретироваться, но я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на прежнем месте и теребил свою бородку с самым растерянным видом. Я чувствовал, что краснею, но пришлось выходить из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил с улыбкой:

— Ах, молодой человек, молодой человек... Разве хорошо целоваться с Солонькой?.. Стыдитесь. Я вот скажу Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию.

Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние: эти поцелуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, очевидно, скрывал свое поведение от Петьки. Вы-

плывала двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой и Рубцовым, и к чему могло все это повести?.. Помню, как мне было стыдно и больно за этот импровизированный роман, и всего удивительнее было то, что я не мог больше смотреть прямо в глаза Рубцову, точно действительно виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фальши не могло улечься и долго после, когда я припоминал эту сцену.

Это был мой последний визит на Мочгу. Мне тяжело было бы встретиться еще раз с Рубцовым, да и мое присутствие, видимо, его стесняло, точно что-то порвалось между нами.

— Увидимся через год, когда вы будете уже студентом, — говорил Блескин на прощание.

Рубцов, против обыкновения, молчал и только ерошил волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Солонькой.

Через неделю я уехал в губернский город дотягивать лямку своего ученического существования и, странное дело, очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было вызвано последним путешествием на Мочгу. Моло-

дость именно тем и хороша, что он не помнит зла и идет навстречу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне казалось, что я создал в собственном воображении сцену свидания Рубцова с Солонькой в лесу и что в действительности не только ничего подобного не было, но и не могло быть.

VI

Прошел последний год бесцветной ученической жизни, и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с какой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и первым делом, конечно, отправился проведать своих друзей на Мочге.

Прииск расширился. Лес по течению Мочги был вырублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь: брошенные ямы, обвалившиеся канавки, размытая плотника, высохший пруд, зараставшие травой перемывки и т. д. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой природе залечивать нанесенные человеком раны и царапины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и первое, что бросилось в глаза еще из-

дали, был свежий прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и прибавили помещение для какого-нибудь нового служащего. Другие постройки остались в прежнем виде: тот же магазин для разных приисковых припасов, та же людская, где жили кучер Софрон и штегерь Епишка, те же конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами прямо в лес; маленькое крылечко было затянуто парусиной, как на даче.

Когда я подходил к конторе, было еще довольно рано — часов десять. Солнце начинало только еще припекать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчанием. Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.

— Войдите... — отвечал изнутри знакомый голос Блескина.

Представившаяся мне картина не требова-

ла объяснения. У окна стоял тот же письменный стол; на нем стоял тот же кипевший самовар, и Блескин сидел так же со своим стывшим стаканом чая, заложив нога за ногу, а около него сидела Солонька и при моем появлении быстро спрятала какую-то книжку за спину. Она была одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного линючего цвета и в красном платке, повязанном по-бабьи. У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла детская кроватка, и в ней спал разметавшийся ручонками ребенок.

— Ах, это вы... — здоровался Блескин, оглядывая меня из-за своих очков. — Давно ли в наших краях?

— Только что успел приехать...

— Рубцов будет очень рад... Он где-то на прииске. Соломонида Потаповна, вы что же это книжку-то прячете?..

— Да так... — кокетливо проговорила Соломонида Потаповна, продолжая прятать за спиной книжку. — Так я испужалась, Петр Гаврилыч, — до смерти.

— Нужно говорить: испугалась...

— Уж вы всегда перешибете на каждом

слове... А я все-таки испужалась... да! то вы ко мне пристали?

— Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка...

— Чего ему делается? Спит...

— Вы хотите чаю? — предлагал мне Блескин, вероятно, чтобы прекратить неловкую сцену. — Я ведь здесь в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе.

Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор, я успел рассмотреть те перемены, которые были произведены в этой комнате присутствием Соломониды Потаповны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке, — новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль в мещанском вкусе, кумачный сарафан и т. д. Появился в углу дрянной шкафик с чайной посудой, на окнах ситцевые занавески и герани, на стене несколько лубочных картинок, в углу образок, двуспальная кровать и даже ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла совсем, а книги Рубцова просто валя-

лись в углу и были покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную участь разделял и микроскоп, торчавший на окне. Детские пеленки, две — три игрушки и тот специальный беспорядок, какой бывает только в детских, довершали общую картину.

Соломонида Потаповна — прежней Солоньки, щеголявшей в подбористых сарафанах, больше не было — не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала какие-то вещи в углу под кроватью. Она была еще красивее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, какая дается только молодым матерям, но все это было испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с невозможными оборками и короткой талией. Оно сидело на Соломониде Потаповне, как на корове седло, в особенно делало безобразной ее талию; то, что было так хорошо в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина приисковой красавицы теперь казалась просто безобразной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со скрипом и каблучками назади.

Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, именно то, отсутствием чего раньше и была красна жизнь в этой комнате.

Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе и как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, которая не обращала на него никакого внимания.

— Ну, а что мой плод? — любовно спрашивал Рубцов, наклоняясь над детской кроваткой. — Спит, каналья... Вот всегда так: днем выспится, а ночью подымет такой гвалт, что жизни не рад.

Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В больших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая рубаха, как и у Блескина. В разговоре Рубцов иногда забывал, что спрашивал, или отвечал невпопад — вообще к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая забота, одна из тех, о которых не говорят.

— Обедать, што ли, будем, Соломонида Потаповна? — обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до головы.

— Не поспело еще... — коротко ответила та и отправилась в кухню, захватив с собой узелок грязного детского белья.

— Терпеть не могу я этих проклятых платьев... — точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась. — Хоть ты ей кол на голове теши!.. Ведь безобразие... мещанство. Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне. — И сколько ей ни толкую, чтобы ходила в своих сарафанах, — ничего не берет...

— Соломонида Потаповна совершенно права по-своему, — спокойно заговорил Блескин. — Ей так нравится — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится, это... просто самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно уважать его личность.

— А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуждаю... Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы.

— Напрасная самоуверенность... Все это де-

ло вкуса, а о вкусах не спорят.

— Наконец, если вообще мне это неприятно?.. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками...

— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм.

— Вот не угодно ли, — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье — Их двое, а я один... Стоит мне рот раскрыть, как у Соломониды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.

— Что же, я могу и не говорить... — заметил Блескин все с тем же неуязвимым спокойствием.

Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким) шагом.

Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтеньем и отчаянным плачем.

— Эк тебя взяло!.. — выругался Рубцов,

оглядываясь. — Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется...

— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя, — объяснял Блескин, поднимаясь с места. — Или, может быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить...

Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кроватки. Маленький плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел.

— Нюта... Нюта... Нюта... — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. — Маленькая барышня Нюта... Смотри, какой у тебя глупый папка!..

Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки.

— А мне стоит только взять эту барышню

на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут, — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка.

Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заалелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.

— Дайте мне ее сюда... — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне!..

Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мочге рано, потому что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех.

— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать.

Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улыбалось нерешительно-заискивающей улыбкой.

— Спасибо, Михал Павлыч... — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж тово, пообедал. На минутку завернул...

Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю поясницу у меня разломило...

— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот ужо я скажу мамыньке, как ты водку здесь клянчишь...

— Ну, поди, поди к матери-то!.. — поддразнивал Потап. — Она те покажет...

— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик.

— Михал Павлыч, родимый мой... то есть так ухватило, так ухватило!..

— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. — Разве это порядок...

Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила:

— Михал Павлыч, родимый мой... ради ты истинного Христа николды не слушай этих самых баб!

— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать... — ворчала на отца Соломонида Потаповна.

— Солонька... кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пень... ладно!.. Погоди...

Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки.

Мне показалось, что между друзьями пробежала черная кошка и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломониде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.

VII

Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мой пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался

здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыслящим реалистом».

— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, — уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку.

Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым, и по-прежнему мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним случалось довольно часто. Но вообще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более: являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье.

Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей, но это тяжелое новое нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька, нет, дело было гораздо се-

рьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек, а главное, нельзя было не предвидеть появления все новых и новых комбинаций. Из-за дрязг и мелочей специально-семейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой.

Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать, но зато дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек.

— Неужели тебе хочется дурой остаться? — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. — Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет.

— Какая уж есть... — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболи-

ные брови. — Вам что за печаль: дура была, дурой и останусь. Свои глаза-то у вас были... Ведь не венчанные: не поглянулась, и уйду.

— Это — какое-то идиотство!.. — возмущался Рубцов, отступаясь.

Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не упускала случая воспользоваться всеми его выгодами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась как-то равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом.

Любимым занятием Соломониды Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, в воздухе налита какая-то смертная истома, а

Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день... Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые «наигрыши» или штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце помудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех.

— Соломониде Потаповне сорок одно с кисточкой... — галантно здоровался краснорожий кучер Софрон, когда проходил мимо «полубарыни», залихватски подергивая свою десятирублевую гармонию.

Вороватый Епишка держался с полубарыней гораздо осторожнее и позволял себе разные колена только в отсутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и раскланивался с Соломонидой Потаповной издали «по-гос-

подски», то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу и держал свою кожаную фуражку на отлет. Потом садился куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал, как господа читают в книжку, глядят в «микорсоп» и т. д. Софрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами, Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Потаповна, сидя на крылечке, задыхается от смеха.

Не нужно было обладать особенной философской проницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кончится в одно прекрасное утро.

Рубцову приходилось нелегко, и мы целые дни вдвоем бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в излюбленных местах, где-нибудь под Дымокуркой, на Пальнике или под Сосуном-Камнем. Это шатание по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца декламировал разные стихи, а больше всего, конечно, из Гейне. Особенно он любил повторять гейневских рыцарей, Вашляпского и Крапулинского.

Вместе ели, но с условием.
Чтоб по счету ресторана

Не платить им друг за друга:
Не платили оба пана...

— Не правда ли, какая чертовская ирония? — спрашивал Рубцов, бросая ружье... — Ха-ха. Это как мы с Петькой!..

Нет, не все еще погибло!
Наши женщины рожают.
Наши девушки им в этом
Соревнуют, подражают...

Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове, но теперь я не могу слышать этих стихов: под этой иронией крылась трагедия, та трагедия, которая одинакова как в патентованных трагических странах вроде Италии, так и в самом обыкновенном захолустье.

— Да, черт возьми, наши женщины рожают... — задумчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих проходил. — Природа тут немножко того, нерасчетливо поступает.

Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, все росла с каждым днем, и, что было всего хуже, он начал пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться пьяным перед Петькой, он обыкновенно ухо-

дил куда-нибудь на прииск, пока не протрезвлялся. На охоте стесняться было некого, и Рубцов обыкновенно напивался на привалах настолько, что домой приходил с красными глазами. Мне эти выпивки были хуже всего, потому что пьяный Рубцов питал большое пристрастие к откровенным разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность ставит «наперсника» в самое дурацкое положение.

Раз мы отправились после обеда за дупелями в небольшое болотце, до которого от прииска было около трех верст. Рубцов выпил дома да прибавил еще дорогой. У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блескиным, следовательно, нужно было вознаградить себя. Я предчувствовал, что сейчас начнется излияние сокровеннейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту.

— Да, я никого не обвиняю... — бормотал Рубцов, ступая неверными шагами. — Это уж последнее дело... да!.. Но это мне не мешает все понимать и все видеть.

Рубцов горько засмеялся и махнул рукой.

— Знаете, что мне говорил сегодня Петька?.. — продолжал он. — «Соломонида Пота-

повна скучает оттого, что в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяжелой работы к безделью... Она слишком здорова и сильна для умственного труда, а ей необходима ручная работа, чтобы не сойти с ума». Чудак этот Петька... Думает, что я ничего не вижу и не понимаю!.. Вот и вы тоже... Нет, батенька, Рубцов все видит: как и Софрон выворачивает глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпускает ей турусы на колесах, а Соломонида Потаповна посиживает на крылечке, щелкает орехи и этак из-под ручки: хихи-хи!.. Так?.. Ну-с, так работа Соломониде Потаповне работой, а потом настоящий-то муж, чуть что, ее же за косы да хорошую трепку, — вот она тогда будет золотая баба. Тот же Софрон, если бы она вышла за него замуж, дул бы ее не на живот, а на смерть, и она же души в нем не чаяла бы... Так я говорю?..

— Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович... так нельзя.

— Ну, уж, батенька, извините: вот так, как я делаю, это действительно нельзя, курам на смех, недаром Софрон и Епюшка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее бить

смертным боем... Боже мой, боже мой!.. Нет, это страшно, вот на какие нелепости сводится наша жизнь... Учитесь, батенька!.. В самом деле, если разобрать всю эту историю, — ничего дурного... Живет созревший молодой человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку; естественно, что он получает известное влечение... так? Ну, она необразованная, глупая, но зато такая здоровая и цветущая. Природа всесильна... Она делается матерью. Тут уж начинается другая аллегория... Посидимте, батенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять...

Мы расположились на лесной опушке, в тенистом уголке. Над нашими головами шатром поднималась старая рябина; вдали синели горы. Жар свалил, и из лесу потянуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из походной фляжки.

— Знаете, сначала я действовал под влиянием одного чувства, как животное... — продолжал он на ту же тему. — И красивая девка была — у кого угодно голова закружится. Ну, сошелся с ней... Когда чисто животный жар прошел, явилось более глубокое чувство: под-

нять ее до себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще плод явился — значит, оставалось идти вперед. Ведь я сколько раз предлагал ей повенчаться — не хочет.

— Почему?

— А шут ее разберет... Раскольники они, вся семья, не признают церковного брака, а, согласитесь, венчаться мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселенький пейзажик получился: студент Казанского университета совратился в раскол... ха-ха!.. Хорошо. Ну, замуж не хочешь идти, так будем жить, а. тут вот какая музыка получается... Что же мне-то делать: остается ревновать ее к Софрону или к Епишке, вернее, к обоим зараз?.. Или изобразить венецианского мавра Отелло?.. Но ведь Солонька походит на Дездемону так же, как свинья на пятиалтынный... Софрон — Кассио, Епишка — Яго, а я — венецианский мавр... тьфу!.. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в таких вещах — сознание, которое гложет тебя и день и ночь... В самом деле, чем виновата Солонька, что она бессовестно здорова и глупа до святости, а я еще меньше ее

виноват во всем этом, хотя она, вот эта самая Солонька, дорога мне и как объект моей страсти и как мать моего ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет большой человек и скажет: «А что, тятенька, разговоры хорошие вы умели разговаривать, а вот живете по-свински...» Понимаете: вот этот беззубый Нютин ротик и скажет... Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Михаил Павлыч, и всего твоего ремесла было откозырять трепака!..

— Ну, уж вы очень хватили!..

— Нет, позвольте... Даже самая положительная дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить вот с этим Софроном или Епишкой... Как бы вы думали?.. Конечно, дрянь... Что бы сделал Софрон на моем месте, если бы заметил за женой шалость и если бы ее действительно любил, как это думаю я сам про себя? Самое простое дело: взял топор и рассек Солоньку на мелкие части, асам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине: «Так и так, мой грех...» Вот как сделает Софрон, и ему и книги в руки. Так что он,

говоря логически, имеет полное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармоникой, а Михаил Павлыч должен смотреть и казниться... Э, батенька, да тут такие кружева в башке заходят, что жизни не рад!.. Каких-то винтов не хватает, вот машина и фальшит. Вся суть-то в одном тебе сидит, а ты в жизни злостный банкрот: напечатал в газетах объявление, заманил публику, наобещал самому себе золотые горы, а хвать — в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, голубчик: все это самому надо размотать... своим умом.

Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один из столичных университетов. Сцена прощания с Мочгой была самая трогательна я. Даже Блескин расчувствовался и со слезами на глазах долго жал мою руку.

— Поклонитесь же Казани, как поедете мимо, — прошептал упавшим голосом Рубцов и убежал в свою комнату, чтобы скрыть душившие его слезы.

— Да, да... это хорошо, — повторил Блескин. — Учитесь много, это наше счастье... Наука — все.

Свидетелями этой сцены были Софрон,

Епишка и Соломонида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и переглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы рассмешить полубарыню.

VIII

Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда дают взаимное обещание писать, но исполнение прерывается много-много на втором или на третьем письме... В данном случае было то же самое: я написал из Петербурга первое письмо и получил на него ответ от Блескина, второе осталось без ответа, а третье я уже имел право не писать.

Время катилось быстро среди новой обстановки, новых людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петербурге целых пять лет и только стороной узнал, что через год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился... Как, где, почему — я ничего не знал, хотя имел много оснований догадываться об истинных причинах этой печальной развязки. Это с одной стороны, а с другой, стоит развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коротенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настолько заурядным явлением в на-

шей жизни, что как-то даже не обращают на себя никакого внимания. Застрелился — и только, причины остались неизвестны, осталась записка — «в смерти моей прошу никого не винить» и т. д. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же записочку, прежде чем пустил пулю в лоб, а впрочем, могло быть и иначе.

Прошло семнадцать лет. Много русской воды утекло за это время... «Мыслящие реалисты» шестидесятых годов оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуществу точными науками. Новое поколение, не отрицавшее искусства, оказалось практичнее своих «детей-отцов», хотя в погоне за практическими целями обходилось без всяких принципных построений. Шла какая-то громадная перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья оказывались сегодня врагами, а враги друзьями. Хищения, ренегатство, философия бессознательного, самоубийства, всевозможные репрессалии — все это перемешалось в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь разобрать. А «дети-отцы» с

их наивным реализмом оказались такими наивными среди этой торжествовавшей «правды жизни»... Естественные факультеты пустели, молодежь стремилась в юристы, медики и тому подобные хлебные профессии!

Года два назад мне случилось ехать по Волге. Великолепный американский пароход только что отвалил от пристани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой широкий двоившийся след. День был солнечный, светлый, и публика толпилась на трапе. Показались новые пассажиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в новой студенческой форме, и казанские татары, и сомнительные помещики, и чиновники, и купцы разных формаций. Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревянном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали печальные волжские села и деревушки.

В числе других пассажиров обращала на себя внимание серьезная молодая девушка лет восемнадцати, которая сидела на диванчике с книгой в руках, а около нее грелся на

солнце старый серый кот. Простое летнее пальто, простая соломенная шляпа, густая темная коса, заплетенная по-дорожному; серые глаза смотрели строго и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских пароходах — все это учащийся народ: бестужевки, курсистки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс представлял только кот, который ходил за девушкой, как собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику никакого внимания: она читала, он спал.

Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером вышла на трап в сопровождении плотного господина в золотых очках. У него была такая великолепная темная борода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел за ними.

— Нет, ты, Аня, ошибаешься... — спокойно заговорил господин, очевидно продолжая какой-то старый разговор. Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем правилам ку-

рильного искусства.

Девушка с живостью что-то ему возражала и так любовно и ласково заглядывала в лицо. «Вероятно, дочь или сестра», — подумал я, наблюдая интересную парочку. Но, когда господин заговорил еще раз, я узнал его по голосу: это был Блескин.

— Мы, кажется, знакомы с вами... — заговорил я. — Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?

— Да...

— Помните прииск Мочгу?

Блескин быстро поднялся и с несвойственной живостью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и наоборот.

— Да как это... какими судьбами? — повторял Блескин, не выпуская моей руки. — Сколько лет, сколько лет прошло...

— Лет семнадцать будет.

— Да, время не ждет. Аня, рекомендую: наш общий знакомый, который знал еще твоего отца, — отрекомендовал меня Блескин и

прибавил: — А это дочь Михаила Павлыча... Помните маленькую Аню?

— Да, да... и кот, кажется, назывался мыслящим реалистом?..

— О да, он самый... Это Михаил Павлыч его так называл. Послушайте, что же мы здесь будем делать, пойдемте хоть в рубку или к нам в каюту.

— Лучше в каюту, — заметила Аня.

Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня ходила распорядиться относительно самовара, Блескин с самодовольным лицом проговорил, кивая головой на затворенную дверь каюты:

— А как мы выросли-то... а? Из личинки человек вырос... Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там живем... вдвоем...

— Извините, нескромный вопрос: о смерти Михаила Павлыча я слышал; а где Соломонида Потаповна?

— Гм... Она вскоре вышла замуж за нашего штегеря Епишку. Да... Рассказывают, что она отлично устроилась, по-своему, конечно. Сначала Епишка был сидельцем в кабаке, потом писарем, а теперь, кажется, служит или чле-

ном земской управы, или даже председателем. Не шучу...

Блескин печально улыбнулся и замолчал. Вернулась Аня и опять недоверчиво посмотрела на нас, впрочем, это могло показаться мне. Не могла же она меня ревновать к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече друзей разных формаций: молодые друзья всегда немножко ревнуют старых.

— Вероятно, опять разговаривали о своей старости? — спросила Аня Блескина с едва заметной улыбкой, спрятавшейся у нее в углах рта.

— Что же, дело не к молодости идет... — ответил Блескин, снимая шляпу.

Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог узнать его с первого раза, да и волосы эти, как и борода, точно были перевиты серебряными нитями преждевременной седины. Лицо было такое же спокойное и очень свежее для своих лет. Блескин так же во время разговора смотрел через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше не было, — это та мягкость, которую при-

дает близость любимого человека.

Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличествует старикам. Вспоминали жизнь на Мочге, разные эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и т. д. Серый кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под себя передние лапы, точно слушал наши разговоры; он щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать стариковской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое первое пробуждение на Мочге, когда серый котенок падал на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмотрела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися глазами и молча долго гладила мурлыкавшего реалиста.

— Да, если разобрать, так, право, тогда было хорошее время, — задумчиво говорил Блескин, — главное, верп была... что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизнь казалась такой простой.

— Везде всё клеточки учили? — спросила Аня, — Действительно, все уж очень просто.

— Это она смеется над нами, — объяснил Блескин. — И представьте себе: дочь Михаила

Павльча Рубцова, реалиста до мозга костей, занимается, чем бы вы думали? Эстетикой... да. Вот где житейская ирония.

— И не эстетикой... — вспыхнула девушка, — а просто вопросами искусства! Если это меня интересует? Притом меня занимает специально научная сторона этих вопросов.

— Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного спора: наша песенка спета... По требованиям эстетики, нужно выразиться в такой форме: мы умираем на своем посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?

— Ирония к тебе нейдет, это не в твоём характере...

После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось о многом переговорить с глазу на глаз, тем более что многого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары и несколько времени молчали. Хотелось так много сказать, и вместе так было трудно начать.

— Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова, — прервал наконец Блескин молча-

ние. — Как бы он был рад, бедняга... Помните, как он просил вас поклониться Казани! Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких восторженных вечных студентов — народ все практический, ничем их не прошибешь. Да... И как он свернулся, вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать нашего кучера Софрона, а Софрон взял да и написал Соломониде Потаповне глупейшую любовную записочку... Одним словом, глупость, и больше ничего. Можно было уехать с прииска, отказать Софрону, да мало ли что. Рубцов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел в лес на охоту и застрелился... Девочка осталась после него полуторых лет. Ну, я ее и взял тогда к себе.

— А как Аня относится к матери?

— Да, право, трудно сказать... Возил я ее несколько раз повидаться с матерью, выходили самые неловкие сцены: Аня позабыла мать, а у той новые дети. Вообще все это тяжелая история, о которой лучше не говорить...

— Теперь вы в Казани?

— Больше десяти лет живем. Сначала Аня

в гимназии училась, потом вот на курсы поступила... Как-то невольно молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и любят всякую молодежь.

Мы ехали на пароходе двое суток и провели время самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему присутствию и при каждом удобном случае расспрашивала про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось больно за Рубцова, который не дожил до этого времен, когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне тоже было немного странно видеть в этой большой Ане того ребенка, который остался в приисковой конторе на Мочге.

— Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца, — говорила Аня. — Ведь он был такой добрый, хотя и бесхарактерный?.. Я представляю себе, как он пел козлиным голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист чистейшей воды.

Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее бе-

лом лбу всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, только в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, расспрашивая про отца, девушка больше интересовалась тем, что относилось к Блескину.

— Вы его не знаете... — проговорила Аня однажды со вздохом. — Это святая, идеальная натура. Таких людей больше нет... Я всем обязана Петру Гаврилычу, который заменил мне мать, отца-нет, больше: разве так относятся к детям?.. Я ведь понимаю, что он и не женился из-за меня, а между тем он же проповедует эгоизм как основу всех человеческих поступков.

Мне нравилось лицо Ани в эти минуты — такое хорошее русское лицо и такие умные, серьезные глаза.

Через два дня наш пароход подходил к пристани, где мы должны были расстаться, — я оставлял пароход, а Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились друзьями. Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с раскрасневшимся лицом и проговорила:

— Прощайте еще раз... Кто знает, может быть, мы совсем не увидимся или увидимся лет через двадцать. Мне хотелось сказать вам один секрет: я — невеста Блескина... да!.. Мы едем венчаться в деревню к его родным...

— Что же вы мне этого раньше не сказали?..

— Петр Гаврилыч стесняется... Ведь я сама его высватала, а это было не легко. Ну, теперь прощайте... второй свисток.

Я едва успел выскочить на пристань, как пароход отвалил. С трапа провожали меня два счастливых лица, и Аня долго махала платком.

Нынче летом я опять был на Мочге...

Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывки — все это заросло молодым лесом, а по бокам высились две стены дремучего ельника, которые сомкнутся со временем, и от прииска останется столько же, сколько осталось от каких-нибудь чудских копей. На месте приисковой конторы торчало несколько покосившихся столбов да развалившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, но здесь, где было жилье, ютились боль-

шие сорные травы: лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники человеческого существования. Где-то звонко долбил сухую ель пестрый дятел; солнце опускалось к горизонту, и где-то далеко, точно под землей, погромыхивала тучка. Нужно было уходить из лесу засветло.

Из уральской старины

Действие нашего рассказа относится к жизни Зауралья лет пятьдесят назад.

I

Ободранная комната, почти без мебели, была залита ярким солнечным светом, который бродил колебавшимися золотыми пятнами по закопченному потолку, по крашенным зеленым купоросом стенам, по заплеванному полу; в раскрытое окно гляделась своей мягкой зеленью липа, где-то слабо посвистывала крошечная серая птичка, с улицы так и тянуло июльским зноем, какой бывает только на Урале. Комната выходила двумя окнами на широкий мощеный двор громадного господского дома, а одним в сад; у одной стены на

полу валялась овчинная шуба, заменявшая постель, между окнами стоял некрашеный деревянный стол, около него два топорной работы стула, на стене висело плохое тульское ружье, рядом какая-то мудреная черкесская амуниция, — и только. Пахло водкой, луком и еще чем-то таким, чем пахнет только в кабаках.

У стола, с гитарой в руках, согнувшись, сидел смуглый, черноволосый, чахоточный человек неопределенных лет; он был в грязной ситцевой рубашке и заношенных плисовых шароварах, заправленных в сапоги. Время от времени жилистая и костлявая рука машинально брала несколько аккордов на гитаре, но сам игрок оставался в том же положении: смуглое лицо было неподвижно, темные большие глаза смотрели на одну точку. Он точно застыл в одной позе и не смел шевельнуться.

— Плохо, Яша, — проговорил он наконец и машинально потянулся рукой к пустой бутылке из-под водки, которая стояла на столе рядом с недопитой рюмкой. — Ежели теперь...

По смуглому лицу со впалыми щеками мелькнула тень, густые брови нахмурились, даже на тонкой шее напружились толстые синие жилы; все внимание Яши сосредоточилось на гитарном грифе. Через несколько минут на лбу выступили капли холодного пота, а губы сложились в кривую, неприятную улыбку: Яша увидел его... Да, это был он, старый знакомый, маленький, черненький, с собачьей мордочкой и утиными лапками вместо ног. Он оскалил свои мелкие зубы, оседлал гриф и показал Яше длинный красный язык.

— Ага, так ты вот как... — прохрипел Яша и сделал рукой такое движение, как будто хотел поймать муху, но проворный чертик увернулся от него с большой ловкостью и выглядывал уже из отверстия гитары. — Нет, постой, брат, теперь не уйдешь от меня... попался, голубчик!..

Яша судорожно закрыл обеими ладонями круглое отверстие гитары, но чертик, как акробат, пробежал по одной струне до колков, выдернул один из них и нырнул в дырочку, только мелькнули в воздухе тонкие, как про-

волока, ножки, длинный мышиный хвост; но через минуту чертик показал свою морду из отверстия, где был колок, и проворно намотал струну себе на шею, — как есть колок... У Яши мороз пошел по коже со страху, но он в отчаянии схватил рукой за ноги чертика и давай их закручивать; струна быстро навилась вокруг чертовой шеи, и собачья голова налилась кровью, длинный красный язык повис, и черные глазки совсем выкатились из орбит.

— Ага... вот когда ты мне попался, подлец! — кричал Яша, продолжая закручивать чертика.

Но в тот самый момент, когда черт уже совсем задыхался, струна вдруг лопнула, черт вырвался, кувыркнулся в воздухе и шлепнулся прямо на пол, где, как капля ртути, расшибся на тысячи мелких крупинок, и каждая крупинка оказалась новым чертиком. Маленькие, безобразные, некоторые еще с розовыми лапками, как у мышенят, чертики забегали по полу, как вытряхнутые из мешка тараканы, и Яша бросился их топтать обеими ногами, причем выделывал чудеса акробатической ловкости.

— Вот я вас, подлецов! — орал Яша, бегая по комнате с гитарой в руках. — Мучить меня... душу тянуть... ха-ха!..

В самый разгар этой сумасшедшей сцены двери комнаты растворились и в них показалась стройная женская фигура. Это была девушка лет девятнадцати, белокурая, голубоглазая, с тонким носом и полным овалом лица; она была в одной крахмальной юбке, а плечи были закутаны пестрой, заношенной турецкой шалью. Сначала она смотрела на прыжки Яши с улыбкой, но потом лицо подернулось легкой тенью; что-то такое грустное и печальное засветилось в больших глазах, а губы сложились в горькую улыбку.

— Яша, ты что это? — тихонько окликнула она бесновавшегося. — Перестань, голубчик... никого тут нет, никаких чертиков.

— А это... а это?.. — метался Яша по комнате, гоняясь за призраками своего расстроенного беспросыпным пьянством мозга. — Вон их сколько, подлецов, насыпано на полу... везде!

Девушка спокойно взяла пьяницу за худые плечи и, как ребенка, посадила на стул к сто-

лу; нервное напряжение Яши сменилось вдруг страшной слабостью: он весь как-то распустился и даже закрыл глаза. Только высоко поднималась и падала чахоточная грудь да все тело вздрагивало тяжелой судорогой; лицо было облито потом, редкие темные волосы прилипли на лбу и на висках тонкими прядями.

— Яша, очнись... Что ты, голубчик? — тихо говорила девушка, напрасно отыскивая глазами воду.

Она торопливо вышла и вернулась через несколько минут с большим графином холодной воды, которую и начала лить Яше прямо на голову; тот вздрагивал, отмахивался руками, причитал что-то своим хриплым тенором и только чувствовал, точно с него сдирают кожу. Это была ужасная минута, слишком хорошо известная всем записным пьяницам.

— Ну, теперь лучше? — спокойно спрашивала девушка, кончив свою жестокую операцию.

Яша с трудам открыл мутные глаза, посмотрел прямо в голубые глаза девушки и засмеялся.

— Узнал? — спросила она.

— Чертики... вен... вон!.. — закричал Яша, вскакивая с места и тыкая пальцем прямо в глаз девушке; в них опять прыгали знакомые черные фигурки, переплетались, как черви, и высовывали красные языки.

— Дурак! — обругала девушка сумасшедшего, а потом достала из кармана пузырек с нашатырным спиртом, отсчитала в рюмку несколько капель, налила воды и подала неподвижно сидевшему Яше. — На, выпей...

— Водка?

— Да, водка...

Яша дрожащей рукой схватился за рюмку и опрокинул ее в рот; он даже не почувствовал, что такое выпил, а только тяжело вздохнул. Девушка подняла валявшуюся на полу гитару, настроила оборванную струну и села с гитарой на раскрытое в сад окно. Взяв несколько аккордов, она заиграла какую-то заунывную немецкую песню, ловко и отчетливо перебирая струны своими тонкими белыми пальцами. Потом немецкая песня перешла в разудалую цыганскую «Настасью»; девушка, отбросив белокурые волосы, падав-

шие на лоб, вполголоса за: пела:

Ты, Настасья,
Ты, Настасья,
Отворяй-ка ворота —

Звуки музыки и пение заставили Яшу открыть глаза и поднять голову; он пришел в себя и долго смотрел то на свою комнату, то на сидевшую на окне девушку.

— Мантилья Карловна, это вы-с? — как-то нерешительно и конфузливо заговорил он, ощупывая свою мокрую голову.

— Я, Яша, а ты тут чего колобродишь? И не совестно тебе?.. а? Посмотри, какой у тебя голос...

— Голубушка, Мантилья Карловна, больше не буду, — зашептал Яша и бросился в ноги девушке. — Простите вы меня, дурака!

Он припал мокрой головой к ее юбкам и опять зашептал что-то такое совсем бессвязное.

— Я к тебе за делом пришла... ах, отойди, пожалуйста! — брезгливо проговорила Матильда Карловна, подбирая юбки под себя. — Грязный весь...

— Ручку... ручку пожалуйте, а то не уйду! — повторял Яша с упрямством протрезвляющегося человека.

— Хорошо, на...

Яша припал к протянутой белой руке и долго целовал все пальчики по порядку, эти удивительно красивые пальцы с розовыми ногтями и просвечивавшей, точно атласной кожей.

— Да как вы сюда-то попали?... а? — удивлялся Яша, не выпуская маленькой теплой ручки.

— Дело есть, Яша... Гуляла по саду и зашла проведать тебя. Ах, да, а где Ремянников? — спросила она серьезным тоном и, прищурив глаза, пытливо посмотрела прямо в глаза Яше, который все еще стоял перед ней на коленях.

— Где Федька? Да он все время здесь был... мы вместе пили, а потом уж я не помню...

— Врешь, подлец! — крикнула Матильда, и ее лицо покрылось розовыми пятнами. — Ты меня обманываешь...

— Ей-богу, вот сейчас провалиться, не вру... вместе пили, а потом все он ко мне при-

ставал.

— Кто он?

— Известно, кто: черненький этот...

— Да ты не заговаривай зубов-то, Яшка! — вспылила девушка и топнула ногой. — Не хочешь говорить правды, так я тебе сама скажу, где теперь Ремянников: он в Ключиках...

— У попа Андрона?

— Да у попа Андрона...

— Что же? Может быть, и там... Да, действительно там... Вспомнил. Он еще третьего дня собирался туда...

Девушка все время смотрела на Яшу пристальным взглядом и с величайшим трудом сдерживала кипевшее в ее груди негодование: она с таким удовольствием впилась бы своими белыми пальцами вот в эту самую пьяную рожу, если бы она не была ей нужна, нужна сейчас же... Но Матильда пересилила себя и постаралась улыбнуться своей ласковой, чудной улыбкой, как умела смеяться в этом доме только она одна.

— Вот что, Яша, я тебя, знаешь, всегда любила, — заговорила девушка с деланной ласковостью. — И ты должен исполнить для ме-

ня одно маленькое поручение... Исполнишь?

— А водки дашь? — грубо спросил Яша, прищуривая свои черные глаза.

— И водки дам и денег... сделаешь?

— Все сделаю, Мантилья Карловна.

— Отлично... Только водки я тебе дам потом, а теперь всего одну рюмочку.

Яша тяжело вздохнул и вперед согласился на все, только одну бы рюмочку... У него голова была тяжелее пудовой гири. Матильда сходила за водкой и подала Яше рюмочку из собственных рук; в водку опять было примешано несколько капель нашатырного спирта, но Яша ничего не заметил, а только поморщился.

— Мы до вечера пробудем здесь, а вечером отправимся, — говорила Матильда, опять усаживаясь с гитарой на окно.

— Куда?

— Уж это мое дело.

— А Евграф Павлыч?.. Надо спроситься.

Матильда посмотрела на Яшу улыбающимся взглядом и только засмеялась...

— В самом деле, как же с Евграфом Павлычем? — допрашивал Яша, напрасно стараясь

сохранить равновесие. — Ведь он, ежели узнает, живого не оставит... А вдруг спросит?

— Этакой ты дурак, Яшка; уж если я сказала, что не спросит, — значит, не спросит... Понял?

— Ага... Узелок будет развязывать? Ха-ха...

— Чему ты смеешься, дурак?

— Да так... Это Матрешкина очередь подошла?.. А славная была девка... ну, да девичье дело: всем один конец!

II

Скоро громадный тенистый сад при кургатском господском доме огласился целым рядом самых отчаянных цыганских песен, которые распевала Матильда Карловна под треньканье Яшиной гитары. Яша теперь сидел с гитарой на окне и выделывал разные музыкальные коленца с цыганскими ухватками: брал аккорды с перебоем и с дробью, обрывал мотив, щелкал по гитаре пальцами, притопывал в такт ногами и время от времени, когда Матильда Карловна отвертывалась, быстро ловил чертика, который опять начал выглядывать из-за гитарного грифа: нет-нет да и покажет то язык, то хвост, то свою поганую

лапу.

— Ну, каково я сегодня пою, Яша? — спрашивала Матильда Карловна, с тяжелым вздохом опускаясь на стул. — Походит на цыганское?

— Похоже-с, но еще не совсем-с... дрожи настоящей нету и раскату. Вот «Сени» взять... Сначала тихо идет, а потом и начнет забирать, и начнет забирать... вот этак.

Яша вскочил с своего места и принялся показывать, как следует выделывать настоящую цыганскую дрожь: распустил руки, закинул немного голову набок, как пристяжная лошадь, и расслабленно перебирал ногами, отбивая носками и пятками. Матильда Карловна, сбросив шаль, в одной юбке и спускавшейся с плеч рубашке принялась выделывать за Яшей все коленца, поводила белыми руками, закидывала назад голову вздрагивала голыми плечами.

— Вот этим плечиком надо чуть-чуть вперед, — учил Яша, великий артист своего дела, — а потом руки совсем распустить... вот так. И чтобы лопатки сходились на спине, когда идет первый размах.

Учитель без всякой церемонии хватал Матильду Карловну за голые руки и плечи, выправлял ей лопатки, ставил ноги как следует и совсем не замечал соблазнительной наготы цветущего женского тела, едва прикрытого сползавшей с плеч расшитой тонкой рубашкой.

— Ну, теперь шаль через плечо и начинай, — командовал Яша, схватывая гитару. — Сначала тихо руками разводить, а уж потом, как я гряну: «выходила молода»... ну, тогда одними носками взять, вытянуться и сейчас плечиком вперед, а шаль распустить.

Яша заиграл «Сени» с цыганским растягиванием второго куплета, а Матильда Карловна пошла на него из противоположного конца комнаты, опустив глаза. Треньканье гитары, хриплый голос подпевавшего Яши, дикие вскрикивания Матильды Карловны, когда она в самых бешеных местах песни взмахивала руками и откидывалась назад, — все это перемешалось в невыразимый гвалт и неслось по саду дикой, невозможной нотой.

— Наша-то ведьма расходилась, — шептала дворня кургатского господского дома. —

Барин почивают, никто дохнуть не смеет в даме, а эта ведьма вон какой содом подняла... Ишь, как ее ущемило, окаянную!

Но пение и пляска скоро кончились, и Матильда Карловна, накинув на голову турецкую шаль, усталой, ленивой походкой отправилась через сад в свой флигель, где под ее надзором процветала господская девичья. Чтобы Яша не напился до вечера, Матильда Карловна послала к нему сторожем старика садовника, который нередко исполнял эту обязанность.

В Кургатском заводе был отличный вековой сад, оставшийся от прежних дремучих лесов Южного Урала: сосны, березы, липы росли в самом художественном беспорядке; аллеи заменялись узкими тропинками и лужайками, где топорщились кусты черемухи и рябины. Лесные просветы чередовались с настоящей зеленой гущей, вересковыми зарослями и лесной чащей. Сад тянулся на целых полверсты по берегу пруда; снаружи его охранял высокий и крепкий забор, усаженный гвоздями. От флигелька, где проживал Яша с Ремяниковым, Матильда Карловна по изви-

листой лесной тропочке направилась прямо к своей девичьей, в глубину сада; на первых же шагах ее охватила лесная прохлада, напоенная ароматом травы, и девушка только теперь вздохнула всей грудью. А кругом было так хорошо: над головой шумели вершины высоких сосен, пахло свежей смолой, где-то беззаботно и весело переговаривались две птички, рассеянный солнечный свет падал сверху широкими полосами переливавшейся золотой пыли. Усыпанная хвоей дорожка из бора вывела в густой липняк, где пряталась новая тесовая крыша с узорчатой раскрашенной вышкой; это и была девичья, выстроенная настоящим русским теремом, с широкими сенями, крытыми переходами, маленькими, теплыми комнатами, кафельными печами и резными узенькими окошечками с узорчатым железным переплетом. На вышке была голубятня. Вообще теремок выглядел таким чудным, мирным гнездышком, о каких рассказывают только в сказках.

Но как было теперь тяжело Матильде Карловне возвращаться в свои владения! Точно она шла в тюрьму. Она думала о том, как она

вечером поедет с Яшей в Ключики, и это была единственная мысль, которая владела ею с самого утра.

— Уж скорее бы вечер, — проговорила девушка, поглядев из-под руки на высокое солнце.

Она задумчиво подошла к самому терему и машинально дернула за шелковый шнурок от звонка; калитка распахнулась сама собой, открыв лестницу на крыльцо с крашеными пузатыми колонками и деревянной широкой резьбой на карнизах.

Навстречу показалась темная, сгорбленная фигура старой девки Анфисы, которая была помощницей и правой рукой Матильды Карловны по довольно сложному управлению господской девичьей.

— Ну? — коротко спросила Матильда Карловна, останавливаясь в сенях.

— Ничего-с, — тонким голоском ответила горбунья, показывая свои белые зубы. — Только уж не послать ли Дашу вместо Матреши... очень уж убивается.

— Вот еще глупости!.. Кажется, я сказала, что очередь Матрешки... так и будет.

Матильда Карловна обошла ряд низеньких уютных комнат, походивших обстановкой на кельи, и внимательно смотрела на работы своих воспитанниц; перед ней почтительно вставали красивые девушки в сарафанах и показывали разное девичье рукоделье. Всех девушек было двенадцать, и они занимали комнаты по двое; чистота была кругом настоящая монастырская и только не пахло ладаном.

Последней комнатой в этом осмотре была та, где вместе жили Матреша и Даша, русоволосые, румяные девушки, бывшие «на очереди», как говорили в девичьей. Матреша была высокая, видная девушка с тяжелой косой и ласковыми карими глазами, которые теперь были красны от слез; Даша смотрела на «Мантилью» своими черными глазками самым вызывающим образом; она была ниже Матреши и с явным расположением к толщине.

— Это что за новости? — резко крикнула Матильда и со всего размаха ударила Матрешу по лицу. — Сегодня твоя очередь прислуживать барину... Вот Анфиса проводит.

— Пошлите лучше меня, Матильда Карлов-

на, — заговорила смелая и разбитная Даша. — Я уж постараюсь для вас угодить барину, а Матреша вон какая нюня;

— Не твое дело! — обрезала немка и, обратившись к Анфисе, прибавила: — На три дня на хлеб и на воду, а если будет болтать, я сама ее высеку.

— Не больно испугались... секи, — ворчала Даша вслед уходившей немке, которую в девичьей ненавидели и называли змеей. — Ишь, расходилась змеиная кровь!

Матильда Карловна прошла в свою комнату и ничком упала на низкую резную кровать красного дерева; она не плакала, не жаловалась, а только закусила подушку зубами, как человек, которому делают невыносимо тяжелую операцию. Анфиса всегда сопровождала свою повелительницу, как тень, и теперь стояла около кровати с видом дрессированной собаки; она ловила каждое движение этого судорожного, корчившегося молодого тела и старалась угадать по этим корчам действительный строй мыслей.

— Матильда Карловна, голубушка, зачем вы так убиваетесь? — шептала горбунья, до-

трагиваясь своей большой лягушечьей рукой до плеча немки. — Ничего, все уладим.

Немка ничего не отвечала, а только глубже зарылась головой в подушки.

Комната «самой» в девичьей была устроена с замечательной роскошью: стены были обиты пестрыми бухарскими коврами, потолок расписан масляными красками, на полу красовался настоящий персидский ковер, весело теперь игравший на солнце своими вычурными узорами и линялыми красками; обитый голубым бархатом диванчик, такие же стулья, туалет из красного дерева, покрытый кружевным пологом, две стеклянных горки — одна с серебром, другая с фарфором, несколько хороших картин масляными красками, — все голые красавицы во вкусе «доброго старого времени», в заученных академических позах, с банальными улыбками на губах и с расплывшимися формами a la Рубенс; шелковые голубые драпировки на окнах и на дверях, такое же одеяло и великолепный полог над кроватью — все это, взятое вместе, делало комнату «самой» похожей на кондитерскую бомбоньерку. Здесь всегда пахло каки-

ми-то тяжелыми духами, вроде бобровой струи или мускуса, и царствовал таинственный полумрак, — окна всегда были заслонены цветами, которые Матильда Карловна любила до страсти; солнечный свет пробивался только между занавесками и ложился веселыми золотыми узорами по коврам, на мебели, на широких лапистых листьях тропической зелени. Сам барин частенько захаживал сюда выпить маленькую чашку кофе, который Матильда Карловна готовила для него своими розовыми руками.

Анфиса в своем темном платье и в темном платочке на голове являлась полной противоположностью с красотой остальных обитательниц девичьей, точно для того только, чтобы своим безобразием еще резче вытенить расцветавшую в этих стенах юную красоту. Лицо у Анфисы, как у всех уродцев, было очень подвижное и злое, с живыми темными глазками и злыми тонкими губами; заостренный горбатый нос придавал ему птичье выражение, особенно когда девушка смеялась, показывая два ряда ослепительно белых зубов. Короткие ноги с широкими ступнями, как у

утки, несоразмерно длинные руки с широкими кистями делали горбунью похожей на обезьяну, особенно когда она начинала сердиться, что проявлялось в резких, порывистых движениях.

— Перестаньте, барышня, — шептала низким контральтовым голосом Анфиса, осторожно поправляя рассыпавшиеся белокурые волосы лежавшей неподвижно немки. — Этим беды не изжить. Разве он может вас понимать?

— Вот что, Анфиса, — заговорила Матильда Карловна, приподнимаясь с постели. — Ремянников теперь в Ключиках, у попа Андроника... Ты знаешь поповскую дочь Марину? Ты ведь все на свете знаешь.

— Как же видала, барышня... Ничего, так, толстая, рыжая девка, и больше ничего. И сам поп рыжий, и Марина рыжая.

— Она красивее меня, Анфиса?

— Что вы, барышня?! — пришла в ужас горбунья. — Да разве можно так говорить? Вы заправская барышня, а та мужичка, вроде как наша Дашка... Только и хорошего в ней, что из себя толстая, как сальная свеча.

— Нет, ты меня обманываешь, — задумчиво говорила Матильда Карловна, надевая расшитую батистовую кофточку. — Чем же она понравилась Феде, если некрасивая?

— Ах, барышня, барышня... Да ведь все эти мужчинишки на одну колодку: им бы только новенькая девка была да глаза на них пялила, — вот и все... Поп-то Андрон голубятник: бегает по крыше с шестом за голубями, а рыжая Маришка с гостями хороводится. Известная музыка-то... А только поп Андрон хоть и прост, а как Федька попадет ему в лапы, костей не соберет. Посильнее Федьки будет поп-то, даром что старик...

— Да?

— Уж беспременно... Как медведь поп-от: пожалуй, и башку отвернет под сердитую руку.

Матильда задумалась и долго ходила по комнате, что-то соображая про себя; лицо у ней было нахмурено и бледно, губы сжаты, грудь поднималась тяжелой волной. Анфиса следила за ней улыбавшимися хитрыми глазами и в душе была счастлива: чужие страдания ей всегда доставляли величайшее насла-

ждение, особенно страдания женщин, которые имели несчастье быть красивее горбуньи. «Так и надо, так и надо! — повторяла она про себя, наслаждаясь чужим горем. — Вот вам, красивым-то, воем так нужно... Не сладко, видно, миленькая Матильда Карловна?»

— Послушай, Анфиса, — заговорила Матильда, останавливаясь перед горбуньей. — Я была сейчас у Яшки-Херувима... Он до чертиков допился, ну, да я его нашатырным спиртом вытрезвила, ничего, продыбается. Вечером-то я хотела сама ехать с ним в Ключики... Понимаешь? Ну, а теперь нельзя из-за этой твари Матрешки: все дело испортит, ежели оставить ее одну с Евграфом Павлычем.

— Ничего, сократим... Не таких ломали; с жиру девка бесится.

— А как меня хватится?.. Беда будет... Так вот я и придумала: поезжай уж ты с Яшкой, а я здесь останусь. Отправлю вас с кучером Гунькой на паре гнедых, которых из Барабы [247] привели, — в час двадцать-то верст промчат, — а вы остановитесь не у попа... Нет, все равно, к попу прямо на двор; ты останешься в повозке, спрячешься, а Яшка пусть

идет к попу. Поняла?

— Ну, барышня, как не понять... что вы!

— Ты только смотри за Яшкой в оба, чтобы не натренькался прежде дела... Если Федя у попа, выжди, пока он с поповной где-нибудь свиданье устроит; уж наверно у них сегодня будет свиданье, сердце у меня чует.

Горбунья улыбнулась одними глазами и только мотнула своей птичьей головой, — дескать, известное это дело.

— А когда Федя будет на свиданье, Яшка и пусть шепнет попу такое словечко про дочь... Одного-то Яшку нельзя отпустить: или проболтается, или напьется прежде времени, а когда будет знать, что ты следишь за ним, он устроит. Ведь Яшка сильно тебя боится.

— Чего ему меня бояться? Я не медведь, — надулась горбунья, питавшая к Яше-Херувиму нежные чувства; она постоянно была в кого-нибудь влюблена и разыгрывала бесконечные романы самого фантастического характера, воображая себя красавицей.

— Да, я и забыла, что ты влюблена в него, — засмеялась Матильда Карловна. — Значит, вам веселее будет ехать вдвоем.

Горбунья промолчала, потому что не умела прощать даже самых невинных шуток, задевавших ее сердечные дела, но, занятая своими соображениями, немка не желала ничего замечать, а только прибавила не допускающим возражений тоном, каким распоряжалась обыкновенно в девичьей:

— Ну, так решено: под вечер я тебя отправлю с Яшей, а сама останусь дежурить здесь.

— Может, Евграф-то Павлыч не захочет еще глядеть на Матрешку, — ядовито заметила горбунья. — Он что-то давненько не бывал у вас... соскучился, поди!

— Молчать, змея подколодная! — крикнула Матильда Карловна, вспыхнув до ушей. — Очень мне нужно возиться с ним! Будет уж, надоел... Пусть свои узелки развязывает... Разве не стало девок? Вон их целы двенадцать... А ты со мной не разговаривать, когда не спрашивают! Слышала? А то я тебе завяжу рот, насидишься вместе с Дашкой...

Горбунья сделала свое обычное смиренное лицо и принялась просить прощения фальшивым голосом.

III

Летнее горячее солнце начало клониться к западу. В кургатском господском саду вдруг захолодело, потянули длинные тени от деревьев, пахнуло откуда-то сыростью, последние птицы лениво перекликались где-то в самых вершинах развесистых столетних берез. Господский дом был все еще залит ярким светом, который слепил глаза, отражаясь от ярко выбеленных известкой стен; это было громадное здание с толстыми, чуть не крепостными стенами, глядевшими кругом узкими, длинными окнами, походившими на крепостные амбразуры. Перед домом расстилалась небольшая, неправильной формы площадь, упиравшаяся одним краем в фабрику, а другим — в сад и берег пруда. Очевидно, дом был построен очень давно, как строили только в старину.

Входа с улицы в дом не было, а сначала нужно было войти в каменные низкие ворота с железною решеткой; мощенный плитнякам двор с четырех сторон был окружен непрерывною цепью построек; за домом сейчас начиналась громадная кухня, потом людская, дальше погреб, рядом с ним тот флигель, где жил Яша. От ворот до флигелька шел длин-

ный каменный корпус, служивший конюшней и псарней. Собственно, самый дом разделялся на две половины: в одной, которая выходила частью окон во двор, жил барин Евграф Павлыч Катаев, а в другой — его родной брат Андрей Павлыч. Братья враждовали между собой с незапамятных времен, как выражаются учебники истории; Андрей Павлыч постоянно проживал за границей, и поэтому его половина, выходившая окнами на пруд, стояла необитаемой. Управление Кургатским заводом разделялось на две половины, и такое разделение служило источником нескончаемых недоразумений, пререканий и раздоров.

С балкона на половине Евграфа Павлыча можно было любоваться отличным видом на весь Кургатский завод и на теснившиеся кругом него горы. Завод раскидал кучки своих бревенчатых домиков в узкой горной теснине, на дне которой разлился неправильною полосой большой пруд, уходивший загибом в настоящее горное ущелье; этот пруд разделял завод на две части: на одной стоял господский дом со своим громадным садом, на дру-

гой — белая каменная церковь и небольшой заводский рынок. Сейчас за плотиной начинались покрытые сажей заводские здания, две домны, целый ряд труб и выкрашенное в серую краску помещение заводской конторы; завод вечно гремел тысячами колес и валов, дымил и сыпал искры. Глухой шум воды смешивался с вечным грохотом и лязгом железа, точно здесь билось на цепи какое-то чудовище, скованное по рукам и по ногам. Общий вид на широкие заводские улицы, на пруд, на завод и на выбегавшую из-под него бойкую горную речку Кургат был довольно красив, особенно летом, и точно нарочно был вставлен в тяжелую раму из зеленого рытого бархата. Вечером, когда даль заволакивалась синеватою мглой, вид на Кургатский завод и окрестности был замечательно хорош.

Барин Евграф Павлыч проснулся только в седьмом часу; после обеда он всегда задавал приличную выхрапку, потому что вставал вообще очень рано. Летам ему подавали сейчас, как проснется, целый графин квасу; барин, не вставая с постели, выпивал его стакан за стаканом и только этим путем приходил в себя.

Обыкновенно квас подавала сама Матильда Карловна, пользовавшаяся привилегией входить в барскую спальню во всякое время дня и ночи. Она садилась на низенький табурет и ждала, пока графин опустеет; барин, в расстегнутой ночной рубахе, открывавшей жирную шею и волосатую могучую грудь, выпивал первый стакан молча, морщился, тяжело вздыхал и говорил:

— Кажется, я сегодня за обедом перепаратил немного: башка трещит, Мотъ... Ух, как кочевряжит!

— А кто велит каждый день напиваться? — с сдержанной досадой отвечает Матильда Карловна. — С раннего утра начинаете рюмки хлопать.

Евграф Павлыч долго сопит носом, трет свое скуластое, опухшее лицо ладонью, ощупывает жирный, красный затылок, трясет ушами и опять принимается за холодный, ледяной квас, которым напрасно старается залить внутренний жар. Лицо у барина очень некрасивое: с маленькими сонными глазами, с мясистым вздернутым носом, густыми бровями и жирным узким лбом; бороду он брил

и носил длинные усы, придававшие ему вид отставного вахмистра. Высокого роста, тяжелый на ногу, с могучей грудью и грубым голосом, Евграф Павлыч в свои сорок пять лет был все еще капризным ребенком, каких воспитывало старое коренное барство. Он требовал постоянного ухода за собой и привыкал к крепким рукам вроде тех, какие были у Матильды Карловны, последней барской фаворитки, завезенной в Кургатский завод из Москвы.

— Ну, Мотя, что у нас новенького? — весело спросил Евграф Павлыч, когда сегодня выпил свою порцию квасу.

— Ничего нового нет... все старое.

— Ага...

Барин встал и попробовал ущипнуть Матильду Карловну за плечо, но она увернулась и надула свои розовые пухлые губки.

— А ты мне обещала, Мотя, сегодня узелок... — проговорил барин и захохотал. — Я ведь не забыл и вечерком приду в ваш монастырь.

— Что другое, а это не забудете, — сердито отвечала Матильда Карловна, помогая бари-

ну одеваться.

— Чья сегодня очередь? — спрашивал барин, поднимая от умывальника свое лицо, покрытое мыльной пеной.

— Матреша будет...

— Гм! ничего, только уж худа она очень. Плохо их кормишь, Мотя, а я, знаешь, люблю пожирнее... ха-ха!

— Перестаньте, пожалуйста, вздор городить, а то я уйду.

— Ну, ну, не сердись... за хороший узелок браслет подарю. Я и то монахам нынче живу.

— Да, сказывайте... А в город прошлый раз ездили, так целых три дня у этой кержанки кутили. Знаем все.

— Что же? Кутил... Кержанка славная бабенка.

Умыванье барина представляло довольно сложную церемонию и совершалось битых полчаса: в спальне слышалось кряхтенье, фырканье, плеск воды, точно полоскался целый утиный выводок. Вымывшись холодною водой, Евграф Павлыч надевал бархатный расшитый халат и выходил в свой кабинет, где его уже ожидал графин с водкой, — нужно

было поправиться, и барин опять крякал и вздыхал, точно вез тяжелый воз.

Кабинет, светлая и высокая комната с письменным столом посредине, скорее походил на какую-нибудь оружейную палату; все стены были увешаны всевозможным снарядом — ружьями, пистолетами, саблями, кинжалами; в одном углу стояла целая коллекция медвежьих рогатин, в другом — коллекция нагаек, у стола — коллекция трубок. Письменный стол был завален, разным дорогим хламом, а чернильница стояла без чернил; бария не любил писать, даже письма за него писала Матильда Карловна. Перед письменным столом, на стене, в тяжелой раме черного дерева, висела голая красавица, написанная масляными красками довольно свободно: она только что вышла из воды и отдыхала на какой-то полосатой шкуре, придававшей голому телу теплый колорит. Напротив письменного стола, у самой стены, помещался низкий и широкий диван, сделанный из лосиных рогов; несколько тяжелых кресел красного дерева, шкаф с книгами соблазнительного содержания и небольшое бюро в

простенке между окнами дополняли обстановку. Перед письменным столом и перед диваном лежали две медвежьих шкуры с набитыми головами и распластанными лапами; это были охотничьи трофеи Евграфа Павлыча, любившего потешить свою удаль с Мишкой.

Из кабинета одни двери вели в спальню, а другие в приемную, очень неприглядную, большую комнату, уставленную тяжелой мебелью.

— А где Ремянников? — спросил Евграф Павлыч, когда выпил вторую рюмку.

— Не знаю... Вы его сами куда-то отпустили, — ответила Матильда Карловна. — Его нет с утра.

— Ах, да, он уехал по делу. Нужно было...

— По какому это делу?

— Ну, по делу... Коренника ищем к тройке: зверя нужно, чтобы рвал и метал. Был коренник, да загнали... Черт его знает, с чего он пал: должно быть, мошенники кучера закормили, ну, и задохся. Послушай, Мотя, ты, кажется, сердишься?

— И не думала... Сегодня с Яшей цыган-

ские песни учила, скоро хором будем петь. У Даши славный голос и у Матреши ничего.

— Вот увидим, какой у твоей Матреши голос, — хрипло засмеялся Евграф Павлыч, откидывая голову назад.

— Только я с этой Анфисой совсем замаялась, — продолжала Матильда Карловна, не обращая внимания на хохотавшего барина. — Уж такая злая, такая злая...

— Да и ты, матушка, тоже хороша, ха-ха! Нашла, видно, коса на камень. Так?.. Да ну, Мотя, перестань дуться, терпеть не могу. А у этой горбуньи отличный голос: серебром так и разливается... Так очень уж злая, говоришь, стала? Ну, поучи ее, добрее будет... Вы там жилы друг из дружки вытянете, ха-ха!

Поздно вечером, когда солнце закатилось и весь Кургатский завод утонул в надвигавшейся ночной мгле, со двора господского дома выехала небольшая зеленая долгушка, заложенная парой барабинских гнедых. На козлах сидел знаменитый кучер Гунька, останавливавший тройку на всем скаку одной рукой; это был лучший и самый любимый наездник Евграфа Павлыча, пользовавшийся всеми

правами и преимуществами своего исключительного положения. На вид Гунька ничем не выделялся от других заводских мужиков, кроме того, что был крив на один глаз и вечно молчал, как пришибленный; скуластое, обросшее до самых глаз рыжеватой бородой, Гунькино лицо производило неприятное впечатление, да и одевался он как-то не по-людски, — все на нем лезло в разные стороны: синяя изгребная рубаха болталась отдувавшейся пазухой, как мешок, армяк сидел криво, шапка вечно валилась с головы, даже сапоги, и те были точно краденые. Обыкновенно Гунька ездил только с самим барином, а сегодня вез Яшу-Херувима с горбуньей Анфисой только по специальному приказанию немки Матильды, слово которой для Гуньки было законом.

— Эх вы, котятки! — прикрикнул Гунька, протягивая вожжи.

И лошади помчали легкую долгушку через площадь, как перышко; крепкая рука была у Гуньки на лошадей, и они чувствовали эту руку, как только он еще влезал на козлы.

— Это Гунька поехал? — спрашивал Ев-

граф Павлыч, сидевший в это время с Матильдой Карловной на балконе.

— Да, я его послала...

Барин поморщился, но ничего не сказал: спорить с Матильдой было бесполезно, как он убедился из долговременного опыта, а сегодня даже невыгодно.

— Отлично прокатимся, Яша, — ласково шептала горбунья, прижимаясь своим тщедушным телом к мотавшемуся на месте спутнику. — Яшенька, голубчик, как поедем назад, я тебе водки дам, а теперь ни-ни... нельзя.

Яша плохо понимал, что ему говорила горбунья, и только мотал головой в такт потряхиваниям экипажа; галлюцинации продолжали его преследовать, и по сторонам с писком, как стая воробьев, бежали давешние чертики. Один особенно надоел Яше своим нахальством: он бежал все время рядом с долгушкой, высунув красный язык, как собака, и все старался забраться в экипаж, хотя Яша и отгонял его обеими руками. Но черт оказался настоящим чертом: Яша как-то зазевался, и черненькая фигурка с утиными лапками вспорхнула прямо на спину Гуньке, потом ку-

выркнулась в воздухе и на одной ножке Поскакала по вожжам, как самый лучший канатный плясун.

— Он... вон он... — в ужасе шептал Яша, указывая рукой на танцевавшего чертика. — Теперь двое... нет, четверо... десять...

— Да ничего, не бойся, ведь я с тобой, Яша, — шептала горбунья и опять прижималась к нему, как озябшая кошка.

IV

Над землей спустилась чудная июльская летняя ночь; заводский пруд и реку заволокло туманом, господский сад стоял на берегу громадной шапкой, все кругом стихло и замерло, и только со стороны завода гулко катились по воде отрывистые, смешанные звуки, точно глухое ворчанье какого-то необыкновенного животного.

— Погоди, змеиная кровь, я доберусь до тебя... и все глаза тебе выцарапаю! — ругалась и плакала бойкая Даша, сидя в заключении в особой темной каморке, устроенной под девичьей. — Еще говорит: «Сама тебя высеку...» У! немецкое отродье!

Перед своим отъездом в Ключики горбатая

Анфиса свела Дашу в «келью», как называли в девичьей эту комнату, поставила ей кружку воды, заперла на ключ дверь и ушла, не сказав ни. слова. Горбунье всегда доставляло большое удовольствие запирать провинившихся девушек в келье, и она это выполняла с необыкновенно важным видом, хотя, под веселую руку, сама любила посплетничать про ненавистную для всего дома «Мантилью». Провожая подругу в заточенье, Матреша едва сдерживала слезы, а Даша нарочно не обращала на нее внимания, чтобы ослабевшая девка совсем не разжалобилась.

— Эка важность! Не ты первая, не ты последняя, — утешала себя Даша насчет печальной участи подруги, — Евграф Павлыч добрый... побалуется и приданое сделает, да еще за хорошего мужика замуж выдаст. Только вот Мантилька окаянная донимает хуже смерти. Зла, зла, а тоже вот, поди ты, размякла к Федьке Ремянникову. Гоняется за ним, как распоследняя шлюха! Так ей и надо... Теперь горбунью с Яшкой послала в Ключики выслеживать Федьку. А Федька за поповной ударился... ха-ха!

Сумасшедшая Даша и плакала, и хохотала, и принималась разговаривать вслух, чтоб хоть чем-нибудь разогнать одолевшую ее тоску одиночества. Келья была совсем почти темная комната в четыре шага шириной и столько же длиной, около одной стены стояла деревянная кровать, покрытая соломой, около нее деревянный стол — и только; слабый свет падал сверху, где в бревенчатой стене было прорублено небольшое окошечко, защищенное крепкой железной решеткой. Воздух здесь всегда был тяжелый и сырой, как в подполье, и сидеть в такой западне целых три дня было не легко, но Даша, пожалуй, еще помирилась бы со своей печальной судьбой, если бы не боялась до смерти мышей. Теперь она забралась на кровать с ногами и чутко прислушивалась к малейшему шороху. На возможность выйти из кельи раньше трех дней Даша не рассчитывала, потому что немка была беспощадна: сказала слово — и конец.

Наскучив сидеть на соломе, Даша легла и от нечего делать принялась слушать, что делается наверху, в девичьей. А там шла сдер-

жанная суета, потому что сегодня ждали в гости Евграфа Павлыча; через пол можно было расслышать торопливые шаги, какую-то непонятную возню, стук передвигаемой мебели, чей-то говор и опять шаги без конца, точно в девичьей все сошли с ума и бегали из угла в угол, как пойманные мыши.

— Эк их там взяло! — ворчала Даша, лежа с закрытыми глазами на своей соломе. — Хоть бы уснуть.

Спать Даша была великая мастерица, но теперь, как на грех, и сон не шел, а в голову лезло черт знает что. Она думала о разных разностях, перебирая события своей жизни: вот она маленькая девочка, босоножка, бегает по улице в одной выбойчатой рубашонке, потам умер отец, мать ходила по миру... потом о ней доложила Мантилье горбатая Анфиса, как о красивой девочке. Четырнадцати лет Даша уже была в господской девичьей, пользовавшейся в Кургатском заводе плохой репутацией, как прокаженное место, где красивые девушки гибли для барской прихоти ни за грош. Следовал ряд однообразных и скучных лег мудреной выучки в девичьей, где Манти-

лья «обихаживала» своих воспитанниц по-своему, откармливала их, как индюшек, учила петь цыганские песни, разному ненужному рукоделью и т. д. Потом наступала «очередь», и опозоренная девушка выпускалась на волю, то есть выдавалась замуж за какого-нибудь прощелыгу, чтобы до самой смерти выносить покоры и побои мужа, насмешки соседей и общее презрение. Даша часто думала о том, чтобы убежать из девичьей куда глаза глядят, утопиться, повеситься, но страх наказания за побег и еще больше страх смерти удерживали ее, как удерживали других. Да куда бежать? Все равно поймают, а там плохие шутки: расправа с беглянками производилась на господской конюшне, откуда наказанных замертво уносили на рогожках. На глазах Даши одна девушка бежала из девичьей. Дело было зимой, она ознобила руки и ноги, но ее вылечили и все-таки отправили на конюшню для острастки другим, где она и умерла под плетью.

— Не я первая, не я последняя, — утешалась Даша, представляя себе высокую, рослую фигуру добродушного барина, который все

равно не сегодня-завтра назначит ей очередь. — Хоть бы скорее... Тощища смертная!.. Вот Матреша счастливее: ей очередь, а потом замуж выдадут... все же вольная будет.

Жизнь в девичьей была устроена совсем на монастырский манер, за исключением тех моментов, когда заявлялся сам барин и кутил в девичьей, иногда ночи три напролет. Кроме барина, всем мужчинам доступ в девичью был запрещен под страхом смертной казни; даже никто из дворни не смел ходить в девичью, за чем немка и горбунья следили с неусыпным рвением в четыре глаза. Конечно, бывали случаи вторжения в жизнь затворниц мужского элемента разными незаконными путями, но это представлялось таким редким исключением, что в общий счет не могло идти. Собственно, девичья всегда существовала при кургатском господском доме, но свой настоящий вид она получила только в руках Матильды Карловны.

Сама Матильда Карловна была из русских немок. Евграф Павлыч купил ее у матери в Москве и вывез на Урал, в свой завод, где она и разделила общую участь всех обитательниц

девичьей, пока не создала себе самостоятельного положения. Она была фавориткой барина года два, а потом сделалась дуэньей, организовавшей из девичьей настоящий гарем. Странная была эта Матильда Карловна, начиная со своей наружности. К ней как-то никто не мог примениться, и весь господский дом был против нее. Тысячи мелких пакостей подводились под ненавистную немку, и не было такой интриги, какую не устроили бы ей ее враги, но Матильда Карловна крепко держалась на своем месте, потому что совсем завладела бесхарактерным барином. Быстро утратив обаяние нетронутой красоты, немка держалась при помощи своих воспитанниц; эта чередовавшаяся юность в ее ловких руках являлась страшной силой, — барин все делал «по-немкиному», как говорила кургатская дворня. Одна Матильда Карловна умела всегда угодить и потрафить капризному Евграфу Павлычу и на его слабостях построила свою власть.

Все «люди» в господском доме ходили у Матильды Карловны по струнке и боялись ее, как огня, даже такие звери, как Гунька. Инте-

ресно было, как Матильда Карловна забрала в свои розовые руки этого любимца и баловня. Гунька был вдовец и метил жениться на одной красивой заводской девке. Матильда Карловна узнала об этом обстоятельстве через горбунью и объяснила Гуньке, что при первом неприязненном действии с его стороны его возлюбленная попадет в девичью, то есть в лапы к барину. Немка шутить не любила, и Гунька сделался в ее руках чем-то вроде ручного медведя.

Но как ни сильна была Матильда Карловна, как ни крепка, а враг и ее попутал: понравился ей главный барский охотник Федька Ремянников. Это была какая-то дикая страсть. Неприступная и злая немка вдруг отмякла и отдалась забубённой, удалой головушке, рискуя в одно прекрасное утро потерять все. Эта связь была известна всему господскому дому, кроме одного барина; самые смелые люди не решались открыть ему глаза, потому что немка — немкой, да и Федька Ремянников был порядочный зверь. Вообще шла очень опасная и рискованная игра, но Матильда Карловна даже и ухом не вела, точно постоян-

ной опасностью хотела купить свое счастье. В ней только теперь проснулась настоящая женщина, и нахлынувшее чувство первой любви жгло ее огнем.

Эта история усложнилась еще тем, что Федька Ремянников, побаловавшись с немкой, переметнулся теперь на сторону ключевской поповны Марины. Весь господский дом и девичья замерли в ожидании близившейся развязки: дело было немаленькое и могло разыграться крупным скандалом.

— А вот только дай бог увидать барина, все ему и брякну! — ворчала бойкая Даша в девичьей, когда не было горбуньи. — Да что смотреть нам на Мантильку... Будет, похороводилась, пора ей и честь знать. Ужо вот барин-то отвернет ей башку... туда и дорога... Вишь, расходилась змеиная-то кровь!.. Да и Федька тоже хорош...

Но все это говорилось и говорилось много раз, а смелости ни у кого не хватало: пожалуй, еще не поверит барин-то, тогда как? Дворня, между прочим, была глубоко убеждена, что немка непременно приколдовала чем-нибудь барина и теперь отводит ему глаза на

каждом шагу. Вообще дело не чисто, и как раз можно попасть впросак. Да и плети на конюшне были слишком хорошо известны всем: редкий день проходил без экзекуций, и страшные вопли истязуемых доносились даже в девичью. Это хоть у кого отобьет охоту...

Лежа на соломе, Даша долго перебирала в уме разные случаи из жизни девичьей, прислушивалась к доносившейся сверху суете и, наконец, заснула. Во сне видит она, что сегодня наступила ее очередь, и в девичьей с утра стоит страшная суматоха: придет «сам», и нужно ему угодить. Все девушки одеты в голубые шелковые сарафаны, выложенные золотым позументом, и в кисейные рубашки; одна она сегодня в розовом атласном сарафане, как Мантилька одевает всех очередных. Даше ужасно совестно и хочется плакать. Мантилька дает ей последние советы, как обращаться с барином, и Даша краснеет до ушей: какая бесстыдная эта Мантилька!.. Но вот приходит и барин. Все окна заперты внутренними железными ставнями наглухо, девушки встречают барина с опущенными глазами, шепчутся и смеются, а он взглянул на

нее и тоже улыбнулся. Пока Евграф Павлыч пил чай, девушки пели песни, потом Даша поднесла ему на серебряном подносе чарку водки; барин улыбнулся опять, выпил и ласково посмотрел на нее.

— Что же девушкам ничего нет? — спрашивает Евграф Павлыч, обращаясь к Мантилье. — Дай им красненького... веселее будет.

Являются бутылки с красным вином, которое в девичьей известно было под именем «церковного», потом сладкие наливки, барин заставляет всех пить; девушки краснеют, но не смеют отказаться. Начался широкий разгул, как умел кутить только Евграф Павлыч; он сидит на диване в бархатном халате и хлопает одну рюмку за другой; рядом с ним сидит Даша, он обнимает ее одной рукой, а другой — машет в такт разудалой цыганской песне, которая бьется в стенах девичьей, как залетевшая в окно дикая птица. Все пьяны, девушки раскраснелись, блестят глаза, Мантилья с шалью через плечо запевает, голова у Даши тихо кружится, но Евграф Павлыч еще заставляет ее пить какое-то сладкое вино... Она опомнилась только у себя на кровати, ко-

гда над ней наклонилось потное, пьяное лицо барина. Ужас охватил ее, и Даша начала сопротивляться ласкам барина, потом заплакала и начала умолять его, а в соседней комнате так и льется песня за песней... Даша в смертельном страхе вскрикнула и проснулась: кругом темнота, она лежит на соломе, а сверху доносится отчаянный топот пляски и какая-то залихватская песня.

— Господи, помилуй нас грешных! — в ужасе шепчет Даша, чувствуя, как холодный пот выступил у ней на лбу.

А над головой ходенем ходит пьяная песня и трещат половицы от пляски: это пошел сам Евграф Павлыч вприсядку. Даше вдруг сделалось душно, и она зарыдала беззащитными, одинокими слезами. «Душегубы проклятые, кровопийцы!..» Нет, она лучше утопится, а не дастся живая барину в руки. Креста на них нет, вот и губят девушек! Лучше умереть, чем нечестной-то жить на смех добрым людям... В самый разгар этих горьких дум песня наверху как-то разом оборвалась, и наступила мертвая тишина, прерываемая чьим-то плачем да криком. Даша замерла и прислушивалась к

каждому звуку, не смея дохнуть. Скоро загремел ключ в дверях кельи, и показался свет.

— Вот посиди здесь, голубушка... — шипел голос Мантильи, которая втолкнула в келью плакавшую Матрешу. — А завтра я с тобой рассчитаюсь по-своему.

Матреша была в одной рубашке и в чулках, на голых руках припухли красными полосами следы чьих-то пальцев, русые волосы рассыпались в страшном беспорядке. Этот отчаянный вид подруги привел Дашу в страшную ярость, и девушка, не помня себя, кинулась прямо на немку.

— Ну, бей меня, бей, змеиная кровь! — кричала Даша, подвигаясь к самому лицу Матильды Карловны. — Что взяла?... а?.. Молодец, Матреша, не далась... и я не дамся. Слышала, Мантилья Карловна?.. Ха-ха!.. Креста на вас нет с барином-то... вот что! Кровь нашу пьете... Погоди, матушка, и на тебя управу найдем... отольются волку овечьи слезы!

— Хорошо, хорошо, я завтра поговорю с вами, — сухо ответила немка, и дверь кельи затворилась.

— Не боюсь, не боюсь! Ничего не боюсь,

хоть на мелкие части режь! — кричала Даша, стуча кулаками в запертую дверь.

Матреша, кажется, ничего не слыхала. Она забралась с ногами на кровать, обняла колена руками и, положив голову на руки, погрузилась в тяжелое апатичное состояние оглушенного человека. Страшное напряжение душевных и физических сил кончилось каким-то столбняком.

— Матреша. голубушка, что с тобой, родимая? — допрашивала Даша, обнимая подругу. — Ах, подлецы, подлецы, что с девкой сделали... Матрешенька, ведь ты не далась барину? Молодец... и я не дамся. А Мантилька-то как теперь с барином? Видно, самой придется его утешать... У! злыдня бесстыжая, так ей и надо. А я все здесь слышала, как у вас там наверху пели и плясали... и как ты с барином драку подняла. Барин-то там остался?... а?.. Да ну, говори же, оглохла, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю, — шептала Матреша.

Барин еще оставался в девичьей и сидел теперь в комнате Матильды Карловны; неожиданное сопротивление Матреши отрез-

вило его, и он задумчиво курил одну трубку за другой. Немка ходила по комнате с нахмуренным лицом; она была тоже разбита душой и телом.

— Славная эта Матрена, — проговорил, наконец, Евграф Павлыч после долгого молчания. — Раньше она мне как-то не нравилась. Ты смотри, Мотя, не притесняй ее, пусть сама одумается... Я не люблю таких девок, которые как семга... Совсем не любопытно.

— Вы домой пойдете или здесь останетесь? — спрашивала Матильда Карловна, останавливаясь.

— Конечно, здесь, Мотя, — засмеялся Евграф Павлыч своим хриплым смехом и потянулся обнять девушку.

Этого и боялась немка, но теперь она относилась к ласкам барина как-то совсем равнодушно, потому что ее мысли были далеко, в Ключиках, куда уехала горбатая Анфиса. Что-то там делается?

V

От Кургатского завода до Ключиков считалось верст двадцать. Дорога шла широкой речной долиной привольно разливавшегося

здесь Кургата, принимавшего с правой стороны бойкую горную башкирскую речонку Саре, а с левой — Юву. Главная масса уральского кряжа осталась назади, а кругом, насколько хватал глаз, расстилалась неизмеримым ковром благословенная башкирская равнина, усеянная озерами и изборожденная сотней мелких речонок. Особенно хорош был красавец Кургат, красивыми излучинами лившийся в далекий и холодный Иртыш; по обоим берегам Кургата и по его притокам плотно рассажались богатые села и деревни, точно они были нанизаны на серебряную нитку. Везде по сторонам разлеглись пашни и луга, перемежаясь с остатками вековых башкирских боров, с березовыми островками и просто лесными гривками и зарослями. Это была настоящая обетованная земля, упиравшаяся одним краем в каменистые отроги Урала, а другим уходившая в «орду», как говорили зауральские мужики, то есть сходилась с настоящей сибирской степью, раскинувшейся до Семипалатинска, Усть-Урта и Каспия.

Ключики, громадное село за тысячу дворов (в Сибири по преимуществу ставятся боль-

шие села), расползлось по обоим берегам Кургата верст на шесть и далеко красовалось своей новой каменной церковью, против которой стоял неизменный поповский дом, упиравшийся в реку огородом и садом. Было совсем темно, когда взмыленная пара Гуньки покатилась по кривой деревенской улице, спавшей всеми своими избушками. Подъезжая к поповскому дому, Гунька сдержал расходившихся гнедых и мотнул головой в сторону поповского прясла, у которого была привязана верховая киргизская лошадь.

— Стой! — шепотом объявила горбунья. — Гунька, ты подождешь нас здесь, а мы с Яшей пойдем к попу.

Яша покорно вылез из долгушки и направился за горбуньей, которая пошла прямо к окну поповского дома, из которого вырывалась узкая полоса света. Припав глазом к закрытому ставню, в котором оставалась щель, горбунья увидела такую картину: за столом сидели четверо и играли в «фильки»; на диване помещался сам поп Андрон, напротив него заседатель Блохин, по бокам сидели запрещенный поп Пахом и еще кто-то, кого Анфиса

не могла рассмотреть, потому что он сидел спиной к окну.

— Ты чего это, Пахомушка, крестовую-то кралю затаил? — грозно спрашивал поп Андрон, выставляя вперед свою рыжую с проседью бороду. — Разве это по-игрецки? И то даве из-за тебя червонного хлапя просолил. Хочешь, видно, мокрую ал и рваную получить?

Поп Андрон, крепкий старик лет под шестьдесят, с большой лысиной через всю голову, сидел в одной ситцевой рубашке, перехваченной шелковым пояском под самыми мышками, и в одних невыразимых; голые ноги болтались в разношенных кожаных башмаках. Время было летнее, а поп Андрон не любил себя стеснять. Лицо у старика было некрасивое, покрытое веснушками, с носом луковицей и дрянной бородой, которая росла как-то клочьями, как болотная трава; хороши были только одни серые умные глаза, особенно когда старик смеялся. Из-под расстегнутого ворота ситцевой рубахи выставлялась могучая грудь, обросшая волосом, точно мохом; поп Андрон, несмотря на свои шестьдесят лет, свободно поднимал за передние ноги ка-

кого угодно жеребца. Заседатель Блохин рядом с попом Андроном походил на пиявку или на глисту: весь какой-то серый, бесцветный, с примазанными на висках волосами, с выбритой худощавой физиономией, с узкими рукавами форменного мундира.

— Ступай к ним и сначала виду не подавай, зачем приехал, — давала горбунья наставления Яше, — а потом отзови попа Андрона и спроси, где, мол, Ремянников, и про Маринку слово закинь. Понимаешь? А я буду тебя здесь ждать.

— Так, верно... — соглашался Яша. — А рюмочку можно, Анфиса?.. Одну только рюмочку...

— Одну можешь, а больше ни-ни. Я буду в окошко смотреть. Ну, ступай с богом.

Появление Яши в комнате игроков не произвело особенного впечатления, потому что он был здесь давно своим человеком.

Поп Андрон мотнул ему головой на стоявшую у стены закуску и коротко заметил:

— Угобжайся, Яша.

Яша налил одну рюмочку и хотел было по пути налить другую, но вовремя вспомнил,

что горбунья следит за ним, и только вздохнул. Посидев около стола, Яша нагнулся к поповскому уху и прошептал:

— Одно словечко, попище.

— А... говори.

— Секрет.

— Ну тебя к чомору!

Поп вылез из-за стола и отвел Яшу в сторону.

— Федька Ремянников был здесь? — спрашивал Яша шепотом.

— Ну, был.

— Та-ак-с... А теперь, думаешь, где он, по-твоему?

— Уехал в Кургат, домой...

— Ан и не уехал... Где у тебя дочь-то, попище?

— Ну-у?

— Ступай-ка, поиши ее, а Федькина лошадь привязана у твоего прясла, с проулка.

— Ах он, пе-ос!..

Старик в одну минуту побежал в комнату дочери. Комната была пуста. Поп отправился на улицу и начал подкрадываться вдоль забора к дремавшей лошади. Горбунья спряталась

за углом и с замирающим сердцем ждала, что будет дальше; на всякий случай она сказала Яше выйти сейчас же за ворота и теперь увела его обратно в поджидавшую их долгушку.

Поп Андрон в это время успел подойти совершенно неслышно к самой лошади, — он шел босиком; остановившись перевести дух, старик услышал осторожный шепот, смех и поцелуи, которые доносились сейчас из-за забора, где под березами стояла беседка. Он узнал смех, своей дочери Марины и закипел гневом. В саду было темно, но сквозь просветы прясла можно было рассмотреть что-то темное, шевелившееся в беседке.

Одним прыжком поп очутился в саду и потом в беседке.

— А, так ты вот как платишь за чужую хлеб-соль?! — кричал старик, медведем наседая на попятившегося перед ним молодого человека.

Завязалась отчаянная борьба, а через минуту поп Андрон сидел верхом на Федьке Ремянникове и молотил его своими кулачищами по чем попало. Поповна сначала прижалась в угол беседки и взвизгнула, а потом, как

коза, перепрыгнула через боровшихся на полу и была такова: в саду мелькнула только ее тень.

— Отпусти, простоволосый черт! Эк насел! — взмолился, наконец, Ремянников, напрасно защищая свое лицо от поповских кулаков обеими руками. — Будет тебе, дьявол.

— Не пущу!!! — ревел старик, продолжая обрабатывать свою жертву. — У меня одна дочь-то, татарская твоя образина! Извел бы ты ее, пес, так куда я с ней?.. а?.. Я там в фильки играю с заседателем, сном дела не знаю, а ты вон что придумал...

— Перестань, говорят. Я женюсь на твоей Марине!

— Ты... ты женишься на моей дочери?! Да кто ты таков есть человек?.. а?.. Ну, говори, пропащая башка!

— Я при Евграфе Павлыче состою... место даст. Отпусти, говорят, — хрипел Федька, изнемогая под расходившимся попом.

— Никогда этого не будет, чтобы я отдал свою Марину за катаевского прихвостня!.. Слышал? Ты в медвежатниках у Евграфа-то Павлыча и жену на медведя поведешь. Ах ты,

дурак, дурак! Так узнай, что за Мариной давно Ключики записаны в консистории, сам владыко обещал мне жениха прислать Марине, потому место это наше родовое: я сам Ключики за покойной женой взял и теперь дочери передам. Для кого-нибудь копил добро-то! Федька, русским тебе языком говорю: выкинь дурь из своей пустой башки, да и девку не мути напрасно. Ну?..

— Отпусти, говорят, а насчет Марины, так еще ее надобно самое спросить.

— Маринкино дело впереди: и ее спросим, а теперь твой ответ. Говори, а то задушу. Не будешь мутить девку?

— Ну, не буду... Эк привязался!

— Побожись!

Федька немного было замялся, но поп не на шутку схватил его железными ручищами прямо за горло. Нечего делать, пришлось побожиться.

— Не тронешь девку? — спрашивал поп в последний раз.

— Ну тебя к черту и с девкой!

Поп слез со своего врага, сел на приступочек и заплакал.

— Ведь она у меня одна... как перст одна! — шептал старик, вытирая слезы рукавом рубахи. — Креста на тебе нет, на варнаке...

— И ты тоже хорош, — ворчал Федька, приводя в порядок расстроенный туалет, — давай по роже хлестать живого человека; вон как устряпал рожу-то.

— А ты поговори у меня, Федька, поговори еще! — ругался поп Андрон сквозь слезы. — Сам виноват. Зачем девку обманывал? Ежели я тебя еще застану с ней, так и башку отвинчу. Слышал?..

Через десять минут поп Андрон и Федька Ремянников входили в поповскую гостиную, как ни в чем не бывало. Появление избитого в кровь Ремянникова всполошило всех гостей не на шутку, но старик поп заявил во всеуслышание:

— Вот угораздило тебя, Федя, сзалиться с лошади... Вон рожу-то как искочевряжил... а?..

— В стреме запутался... с полверсты за лошадью тащился, — объяснил Ремянников, вытирая окровавленное лицо. — Испугалась она, ну и вышибла из седла.

— Мудрено что-то, — качал недоверчиво головой заседатель. — Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь...

— Бывает и на старуху проруха и на девушку бабий грех, — смеялся запрещенный попик в зеленом подряснике.

— Ну-ка, Федя, полечись, — предлагал поп Андрон, подводя избитого гостя к закуске. — Вот тут есть настойка на сорока травах, от сорока болезней. Весьма помогает.

Федька Ремянников был приземистый молодец лет двадцати пяти; он постоянно носил полосатый шелковый татарский бешмет, из-под которого выставлялся только ворот шелковой рубахи. Кудрявая русая голова Федьки крепко приросла к широким плечам; румяное и круглое лицо, едва опушенное небольшой бородкой, было красиво мужественной красотой, хотя нос был приплющенный и скулы выдавались. Федька смотрел всегда немного исподлобья и редко улыбался. Кривые ноги обличал записного наездника; но всего замечательнее у этого молодца были руки: он свободно поднимал по десяти пудов каждой рукой. Евграф Павлыч любил Федьку за отчаян-

ную удаль и всегда брал с собой на медвежью охоту; с рогатиной в руках Ремянников ходил на медведя один на один. Вообще это был настоящий богатырь, хотя старый поп Андрон и обломал его по-медвежьему, так что Федька теперь только переминал плечами; в спине и в боках у него точно были камни.

— Вот что: вы теперь поиграйте без меня, — предлагал поп Андрон, пропустив, стомаха ради, рюмочку сорокатравной. — Федя за меня сядет, а мне надо по хозяйству. Вон светать начинает.

— Хорошо, хорошо, ступай, куда тебе надо, — согласились гости.

Горбунья Анфиса успела подслушать, что происходило в беседке, а теперь смотрела в оконную щель. Когда Федька уселся играть с заседателем, а поп Андрон вышел из комнаты, она решила, что пора ехать восвояси. Занималось туманное летнее утро, и, того гляди, накроют — нехорошо, да и делать в Ключиках больше нечего. Гунька и Яша ждали горбунью в ста шагах от поповского дома, и скоро пара гнедых унесла всех троих из Ключиков.

«Ловко обтяпали дельце! — смеялась про себя Анфиса, опять прижимаясь к Яше. — Здорово его обломал поп-от, до новых веников не забудет».

Небо было совсем серое, звезды тихо гасли; все кругом покрылось густой росой. Где-то далеко-далеко жалобно кричали журавли. Отдохнувшие лошади вольным ходом бежали домой, а седоки дремали каждый со своей думой.

VI

Поп Андрон целое утро обходил свое громадное хозяйство, которое было поставлено на широкую помещичью ногу, как у многих других зауральских попов-богатеев. О гостях старик скоро забыл, как забыли и они о хозяине, да и трудно было разобрать, кто в этом доме был гость, кто хозяин: у попа Андрона двери всегда были настежь для званого и незваного, и хороший гость нередко загащивался по неделе. Старик всех принимал с распростертыми объятиями, потому что любил угостить, да и угощение было свое, некупленное: хлеб свой, овощ всякий свой; птица разная своя, баранина, телятина, козлятина, по-

росятина — тоже, одним словом, все было свое. Единственный расход был на водку, но и тут трудно было рассчитать, что шло по хозяйству, что на гостей: обыкновенно поп Андрон каждый год ставил на погребице две сорокаведерных бочки с пенным, и к концу года их не хватало. Дело в том, что много водки уходило на помочи, когда поднимали поповское сено и убирали хлеб, а потом на всякие другие хозяйственные случаи, где нужно было прихватить чужие руки. В Ключиках мужики были зажиточные, и нанять их в страдное время на чужую работу было невозможно; деньгами тут ничего не поделаешь, а помочане шли к попу «из уважения». Своих работников у попа жило больше двадцати, но этих «строшных» ему не хватало, потому что одного хлеба он сеял пятьдесят десятин да держал лошадей за сто штук, а всякой другой скотине и счет давно потерял. Одним словом, жил себе старик Андрон пан паном и ничего знать не хотел, как нынче уже не живут: время другое и люди другие.

Говорили, что у старика попа в кубышке не один десяток тысяч лежит, да хлеб из пяти

тысяч пудов никогда не выходит; всегда в запасе старик Андрон жил. Такое богатство простого деревенского попа, раз, объяснялось богатой местностью, — в Ключиках было больше десяти мужиков, державших про запас тысячи по три пудов хлеба, — а потом некоторыми особенными условиями; это богатство копилось не одним поколением и переходило из рода в род. Поп Андрон взял себе жену вместе с местом в Ключиках, как делывалось в старину, когда места закреплялись за невестами духовного звания; старик тесть успел много накопить всякого добра, и попу Андрону пришлось только приумножать готовое, что он и выполнял неукоснительно, потому что был хозяин образцовый и «везде доходил своим глазом», всякую хозяйственную «малость» следил.

Пока гости играли в фильки, хозяин успел обойти не только все хозяйство, но даже побывал в поле; нужно было посмотреть овсы, пшеницу, траву под покос. Все было хорошо и в порядке, только душа у попа не лежала на месте: то, да не то. Бродил он по коровникам, по амбарам, по конюшням, завернул в погреб,

осмотрел огород, посидел в «строшной», где успел задать работу своим работникам, разбудил стряпку, а у самого совсем не хозяйство на уме: задала Маринушка старику отцу мудреную задачу... Нужно было и честь сохранить честью, чтобы не ославить напрасно девку, и напрасной потачки не дать, потому женское дело самое ненадежное, а посоветоваться да поговорить старику совсем не с кем: он вдовел уже шестнадцатый год.

— Эх, не ладно дело-то! — вздыхал старик, не зная, куда бы еще ему сходить.

Кончив обход по хозяйству, пока стряпка ставила самовар, поп Андрон любил летом забраться на голубятню и погонять голубей, — забава самая домашняя. Он и теперь отправился туда же. Голубятня была устроена в конце двора, и с нее все поповское хозяйство было видно, как на ладонке, так что, помахивая шестиком на плававших в небе голубков, старик в то же время мог наблюдать за всем ходом катившегося хозяйственного колеса. И теперь, забравшись на вышку, поп Андрон, по привычке, осмотрел строгим хозяйским глазом весь двор, службы, огород, конюшни и

стоявшую за рекой заимку, где хранились хлебные запасы. Все было хорошо, как «полная чаша». Вон строшные поехали в поле заборанивать поднятые пары, вон два наездника гоняют на корде каракового жеребца-трехлетка, вон над кухней синей струйкой встал веселый дымок, и стряпка Оксинья подняла возню на целый день, вон стоит заседательская повозка, около нее бродит индейский петух и т. д. и т. д. По привычке поп Андрон взял свой шестик и поднял на воздух тридцать пар голубей, и голуби отлично делали свое дело, особенно турманы, которые винтом поднимались вверх, подбирали крылья и вперевертъ летели книзу, как сорвавшийся камень. Голубей поп Андрон разводил лет пятнадцать, и последней новинкой в его стане была парочка палевых египетских голубей, настоящих египетских, которых ему принес из Иерусалима знакомый странник-монашек.

— Таких голубей до самой Москвы не найдешь, — с гордостью объявлял старик любителям-голубятникам.

За эту парочку один знакомый купец-голубятник давал сто рублей, но поп Андрон толь-

ко улыбнулся: не продажное дело, а заветное. Сегодня палевые голуби выделывали чудеса, точно хотели нарочно потешить старика, но поп Андрон только вздыхал и все поглядывал вниз, на ту часть своего дома, где два маленьких оконца были завешены легкими кисейными занавесками: за этими занавесками почивала поповна Марина.

Спустившись с голубятни, старик прошел в сад и наломал пучок березовых веток, облущил их от листьев, спрятал под мышку и пошел с ними к дому. Гости все еще играли, и он прошел через кухню к комнате дочери. Дверь была заперта на крючок изнутри; поп Андрон постучал.

— Кто там? — послышался заспанный голос Марины.

— Отворяй...

Послышались возня торопливого одевания, шлепанье босых ног по крашеному полу, и, наконец, на пороге явилась Марина, кое-как накинувшая на себя ситцевое платье. Она была босиком, и золотистые волосы были завязаны на голове просто узлом.

— Чего тебе, тятенька? — спросила она, зе-

вая и потягиваясь.

— Как чего?.. Ах ты, куриное отродье!.. Говорить с тобой пришел...

Девушка с удивлением взглянула красивыми заспанными серыми глазами на отца и посторонилась, чтобы дать ему дорогу; она только теперь заметила торчавшие из-под пазухи розги и улыбнулась.

Старик отец присел к окну и несколько времени молчал, с трудом переводя дух. Как он любил всегда эту небольшую комнатку, в которой покоились все его надежды, заботы и упования! Такая светленькая и уютная была комната, точно игрушечка.

— Ну, доченька, пришел я с тобой всурьез побеседовать, — заговорил, наконец, поп Андрон, продолжая оглядывать комнату, точно был в ней первый раз. — Ты вот спишь здесь, а я всю ночь проходил, как другой медведь-шатун.

— Известное дело, с гостями в фильки играл... Этак и трех ночей мало будет!

— Нет, доченька, не то... Действительно, не один я ходил ночь-ноченскую, а с гостем: на сердце у меня этот гость как сел, так и зада-

вил, точно медвежья лапа.

Марине было лет семнадцать, но она была уже совсем развитая девушка, развитая, пожалуй, не по летам. Высокая ростом, с небольшой головкой и тяжелой волной золотистых волос, она была настоящей деревенской красавицей, хотя лицо у нее и нельзя было назвать правильным: нос был приплюснут, скулы немного выдавались, лоб был маленький, темные брови срослись над переносьем. Но зато свежесть серых глаз, молочная белизна кожи, как у всех рыжих, яркий румянец, улыбка, открывавшая два ряда чистых, как слоновая кость, зубов, — все в ней дышало грубой, вызывающей красотой: Это было олицетворение развертывавшейся жизни, заразительно разливавшей кругом себя все чары нетронутой, преисполненной сил юности.

— Ну, доченька, вот и пришел я побеседовать... — несколько раз повторял поп Андрон, напрасно подбирая слова для щекотливого объяснения. — Сейчас сидел я на голубятне и смотрел кругом: всего у меня много, доченька, наградил господь свыше разума... да. Сам я стар, не сегодня-завтра помру, ну, кому все

это добро пойдет?.. а?.. Не мной оно накоплено, а еще дедушкой, родовое добро-то...

— Кому хочешь, тому и оставишь свое добро.

— А ты не зуби! — закричал старик, вскакивая. — Разве так с отцом-то разговаривают?.. Спущал я тебе много, вот и зубишь отцу... Думаешь, твоему-то медвежатнику Федьке оставлю свое нажитое? Нет, шалишь, ничего он не увидит, — вот тебе мой первый сказ, а второй сказ: посажу я тебя в монастырь годика на два; там сбавят комариного-то сала.

Марина молчала, опустив глаза. Старик отец действительно избаловал ее, и она не боялась его ни на волос, хотя поп Андрон был очень «ндравный» человек и держал себя очень гордо, а подчас даже и совсем неприступно. Мужики ходили перед ним без шапок, да и чиновники гнули спину перед толстой поповской мошной; о купцах и говорить нечего, — те на сто верст кругом знали попа Андрона. Только с самыми близкими приятелями, вроде заседателя Блохина, поп Андрон всегда был нараспашку.

— Ну, чего ты молчишь, как статуй? —

спрашивал старик, начиная закипать гневом.

— Твоя воля, тятенька; как прикажешь...

— То-то... твоя воля... Моя, видно, да не больно. Хорошее ты слово сказала, да немножко после времени...

— И теперь твоя воля, тятенька, — повторила Марина.

— Моя... А кто вечор с Федькой в саду шашни заводил?.. Федьку-то я здорово отполировал, а про тебя ни слова не сказал: девичье дело; худая-то слава, как ртуть, во все стороны рассыплется. Да... пожалел я вечор тебя, а сегодня пришел суд тебе произвести... келейно. Я тебя, Маринка, выдеру, — вот тебе третий мой сказ... чтобы помнила, как с парнями по садам гулять. Матери у тебя нет, учить тебя некому...

Старик припер дверь, спустил занавески и взялся за принесенные розги. Марина прислонилась к стенке и смотрела на отца своими серыми глазами в упор, точно застыла; когда отец взял ее за руку и потащил к постели, она вырвалась и глухо прошептала:

— Да ты в уме ли, тятенька? Разе таких больших девок отцы дерут?.. Как это тебе, тя-

тенька, не совестно?.. Уходи отсюдова!

У попа Андрона опустились руки от неожиданного отпора, а Марина в это время осторожно взяла его за плечи и вытолкнула в двери.

— Вот ищо выдумал! — ворчала она, затворяясь на крючок. — Ну, посылай в монастырь... за волосы оттаскай, а то накося!.. А мне на твое добро наплевать.

VII

После поповской науки Федька Ремянников пролежал в своем флигеле дня три, потому что у него не разгибалась поясница и не ворочалась шея. Яша кутил хуже старого и все ловил чертей; раз он схватил горбатую Анфису прямо за нос, потому что в него спрятался самый бойкий чертик. Матильда Карловна несколько раз приходила проведывать своего возлюбленного и с участием спрашивала, что с ним такое.

— С лошади пьяный упал, — сердито отвечал Федька, повторяя ловкую выдумку попа Андрона.

Лежа на своем одре, Федька не раз задумывался о том, как поп Андрон врасплох напал

на них в беседке. Не в первый раз Федька целовался с Мариной в саду, все с рук сходило, а тут точно черт попа сунул. «Наверное, кто-нибудь подвел попа, — догадывался Федька и с бессильной злостью против неизвестного врага только скрипел зубами. — Уж только попадись мне этот доводчик, — всю душу вытрясу... Однако старый черт Андрон здорово меня вздул!» Несколько раз Ремянников пытался было стороной выпытать что-нибудь от Яши; но тот только моргал глазами и ежился.

Матильда Карловна и горбунья Анфиса посмеивались между собой: все было шито и крыто, рассказать мог один Гунька, но и тот молчал как убитый. Устроившая скандал Матреша была высечена на другой же день и лежала в келье больная; за компанию с ней была наказана и Даша; девки совсем спятили с ума и не хотели поддаваться немке ни под каким видом. В другое время Матильда Карловна сумела бы донять их, вымотала бы всю душу с чисто немецкой аккуратностью, но теперь ее занимала мысль о том, чем досадить ключевскому попу, который для нее был бельмом на глазу.

— Конечно, он отлупил Федьку, — рассуждала Матильда Карловна с горбуньей. — А все-таки и попа нужно взбодрить... Как ты думаешь, Анфиса?

— Надо чем-нибудь насолить попу, — соглашалась Анфиса, напрасно стараясь придумать какую-нибудь каверзу. — Только надо чистенько дело сделать, а не дуром. Погодите, придумаем... главное, чтобы никто не догадался, откуда ветром пахнуло. Вот бы Евграфа Павлыча натравить на попа...

— В самом деле, Анфисушка, — упрашивала немка, — придумай что-нибудь... Ты ведь на эти штуки мастерица!

Однажды, когда они обсуждали этот вопрос, горбунья тихо вскрикнула и захохотала.

— Что это с тобой? — удивилась Матильда Карловна.

— Придумала, придумала! — кричала горбунья и несколько раз даже повернулась на одной ножке. — Утешим Андрона... ха-ха!..

— Да говори толком, будет дурачиться.

— И как все просто, Матильда Карловна... ей-богу!.. Поп-то Андрон страшенный голубятник, у него есть пара египетских голубей...

сто рублей давали... не отдал, ну, мы Евграф Павлыча и натравим на этих самых голубей.

— Отлично... очень хорошо. Ай да Анфиса!

Немка даже расцеловала горбунью.

Натравить Евграфа Павлыча на кого угодно было вовсе не трудно, потому что это был совсем взбалмошный человек, не умевший себе отказать ни в малейшем капризе. Немка настолько изучила его, что могла руководить им безошибочно. В данном случае она повела дело исподволь, не подавая никакого вида относительно истинных своих намерений. Както утром, когда Евграф Павлыч пил чай, Матильда Карловна, между прочим, рассказала длинную историю о поповских голубях; барин сразу пошел на закинутую удочку и задумчиво проговорил:

— Вот как, а я и не подозревал.

— Красивые, говорят, голуби: палевые, — поджигала Матильда Карловна с самым невинным лицом. — Один купец сто рублей давал за пару, да поп не взял.

— Ну, уж это ты, Мотя, врешь: попы любят деньги... Это надо с ума сойти, чтобы за пару голубей сотенную не взять. Ха-ха... Можно на

сто-то рублей отличную пару лошадей купить. Нет, это уж сказка...

— Спросите кого угодно, все вам-то же скажут.

— Да чего мне спрашивать, когда я сам отлично попа Андрона знаю! Водку с ним пил в третьем годе: здоровенный поп и выпить не дурак.

— А все-таки не продаст за сто рублей палевых голубей.

— Вот и врешь, Мотя... Хочешь об заклад удариться, что я этих самых палевых голубей у попа за пятьдесят рублей куплю? Идет?

— Идет. Если купите, я вам плачу пятьдесят, а если не купите...

— Да я тебе тогда триста подарю... ха-ха!.. Жаль мне тебя, Мотя: напрасно свои пятьдесят рубликов прозакладуешь.

— Себя пожалейте, Евграф Павлыч, а гусей по осени считают.

Ударили по рукам. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Евграф Павлыч сейчас же отправил Гуньку верхом в Ключики с собственноручной запиской попу Андрону; к записке были приложены деньги пятьдесят

рублей. Через три часа Гунька вернулся и привез обратно деньги: поп Андрон сказал, что не отдаст голубей и за сто рублей.

— Ах он, простоволосый дьявол! — вскипел Евграф Павлыч и даже покраснел от злости. — Ну, Мотя, я проиграл заклад: плакали мои триста рубликов... А попу я не спущу: будет он у меня помнить, как поперек мне делать.

— А что вы с ним сделаете? — спрашивала Матильда Карловна.

— Я что сделаю с попом? я?.. Первым делом возьму его палевых голубей даром.

Одним словом, каша заварилась не на шутку, и оставалось только подливать масло в огонь. Евграф Павлыч в ту же ночь отрядил в Ключики пятерых конюхов с мешками: они должны были забрать всю поповскую голубятню и привезти в Кургат к утру. Эта экспедиция закончилась полной неудачей: поп Андрон отлично знал характер Евграфа Павлыча и засел караулить голубей со своими строшными на целую ночь; когда конюхи с мешками забрались в голубятню, он четверых запер на месте преступления, а пятого отпустил

донести барину о своем поражении.

Через несколько дней после этого случая в Кургатский завод приехал заседатель Блохин, который всегда останавливался в господском доме. Это был самый обыкновенный старинный «чинодрал», перебивавшийся около разных милостивцев. На этот раз он заявился к Евграфу Павлычу с самым серьезным видом, чем ужасно насмешил хозяина.

— Послушай, брат, ты дорогой, вероятно, живую муху проглотил? — встретил его Евграф Павлыч.

— Нет-с... изволите шутки шутить-с! А я-с по делу-с и по очень важному делу-с...

— Знаю, знаю: выпить хочешь, приказная строка! Ха-ха!.. Ешь солоно, пей горько: умрешь — не сгниешь.

Заседатель только вздохнул и пожал плечами.

— Не то-с, Евграф Павлыч, — заметил он после некоторой канцелярской паузы. — Дело-то выходит самое преказусное... да.

— Какое дело?

— А то самое, которое вы настряпали... Поп Андрон подал на вас прошение о вооружен-

ном нападении на его дом в ночное время и о краже со взломом.

— Ну, брат, испугал ты меня... ха-ха!.. Да я все потрохи вытрясу из попа, и он у меня сам залетает, как палевый голубь, а на его прошение мне плевать.

— Напрасно-с и даже весьма напрасно-с, Евграф Павлыч. Хлопотно будет, и расход лишний...

— Ах ты, крапивное семя, да я и тебя вместе с попом на одно лыко привяжу да в воду.

— Это уж как вам будет угодно-с. Я маленький человек и вам же добра желаю-с.

— А если добра желаешь, так пойдем выпьем...

За выпивкой, однако, Блохин все как-то ежился и вздыхал «с утеснением», пока хозяин его не оборвал:

— Послушай, брат, да ты на поминки, что ли, ко мне приехал?.. а?..

— Евграф Павлыч, голубчик, — заговорил Блохин самым нежным голосом и даже склонил свою щучью голову набок. — Не могу успокоиться, потому такое дело... особенное-с. Дворянин... и вдруг обвиняется в краже голу-

бей... Весьма не подобает это вашему званию, Евграф Павлыч. Вот я и думаю: вы отличный и благороднейший человек, отменной доброты и великодушного сердца, ну, что вам стоит пойти на мировую с попом Андроном?

— Да ты с ума сошел... Я?.. Мириться с попишкой?

— Позвольте-с, дело-то такое. Что такое голуби? Наплевать, и все тут. Предмет, не стоящий никакого внимания и даже слабый для благородного человека.

— Ну уж это ты врешь: палевые ведь голуби-то...

— Ах, господи, господи, что же из этого? Хоть зеленые будь по мне. Мало ли у вас всякого удовольствия, Евграф Павлыч: и охота, и лошади, и... хе-хе!.. девушки-с... вот это предмет достойный, а то тьфу!.. даже произносить как-то неловко-с.

— А ежели мне эти вот самые палевые голуби понадобились, тогда как? Дай да выложь, и ничего знать не хочу, а попа Андрона я пройму не мытьем, так катаньем. Вот тебе и сказ весь, а там судите меня, хоть на виселицу... Ничего не пожалею, чтобы себе удоволь-

ствие сделать. Охотку тешить — не беда платить.

— Неукротимый у вас характер, Евграф Павлыч.

Заседатель Блохин был великий дипломат и на своем веку немало уладил самых казусных дел через простое «миротворение», как хотел устроить и здесь, потому что сцепились два милостивца, из которых он не желал терять ни первого, ни второго. И дернуло же этих проклятых голубей!.. Блохин чувствовал, что сам начинает стервениться и, того гляди, украдет поповских голубей, чтобы свернуть им головы.

— Нашли игрушку, черти этакие! — ворчал миротворитель. — Слышь: палевые голуби... тьфу! тьфу!..

Прежде чем ехать в Кургатский завод, Блохин, конечно, завернул в Ключики к попу Андрону, с целью предварительно усовестить поднявшегося на дыбы старика, но эта миссия закончилась полной неудачей.

— Главное то, что сану твоему это самое дело не соответствует, — усовещивал Блохин упрямившегося попа. — Нужно по заповеди

прощать седмижды семь раз... Так?

— Так, так, — соглашался поп Андрон.

— И мало ли есть любопытных занятий, кроме этих голубей: наливки делать, цветы разводить... да мало ли.

— Да ведь палевые голуби-то, ежовая твоя голова!.. Знать ничего не хочу; не попущусь Катаеву ни в жисть. Мне плевать, что он заводчик и миллионер... Я сам буду архиереем, только вот Маринку пристроить. А голубей я не отдам, хоть озолоти меня...

— Не дури, попище, а то хуже будет!

— А ты мне что за указчик? Плевать мне и на тебя...

— Поп, не кочевряжься!

— Знать ничего не хочу; Катаев хотел через взлом выкрасть моих голубей, и я не попущусь ему...

Одним словом, дипломат-заседатель благодаря проклятым палевым голубям попал в самое неловкое положение, между двух огней: милостивцы лезли на стену и ничего слушать не хотели. Блохин прожил в Кургатском заводе целый день и ничего не мог добиться от Евграфа Павлыча; дело выходило совсем

дрянь, если бы не утешила немного Матильда Карловна, пообещавшая, со своей стороны, сделать все, чтобы помирить Евграфа Павлыча с попом.

— Будьте благодетельницей, матушка Матильда Карловна, — умолял Блохин, целуя с умилением немкину руку. — Ведь это что же такое будет? Евграфу Павлычу достанется, да и попу дадут по шапке... Я теперь даже совсем презираю самое это слово: голубь!

Прикинувшись сторонницей мира, Матильда Карловна выведала от Блохина решительно все, что ей нужно было знать, и осталась очень довольна положением дел.

«Дело начато, теперь нужно придумать что-нибудь дальше, — думала Матильда Карловна, провожая заседателя восвояси. — Начато хорошо, надо и кончить хорошо».

VIII

Хотя Евграф Павлыч и принялся за дело горячо, но он мог каждую минуту остынуть: на него ни в чем нельзя было полагаться. А пока дело о краже голубей таскалось бы по разным судам и палатам, барин успел бы и совсем забыть о нем. На другой же день после отъезда

Блохина, за обедом, Матильда Карловна спросила Евграфа Павлыча:

— А как вы насчет голубей?

— Да, пожалуй, они, Мотя, уж мне и надоели, черт с ними совсем!

— Напрасно...

— Ничего не поделаешь с попом, войной не пойдешь.

— Можно и без войны.

— Это как?

— Да очень просто: набрать ястребов-голубятников и напустить на поповских палевых голубей.

— Та-та-та... в самом деле, как это мне самому не пришло в голову! Мотя, да ты у меня молодец... Мы настоящую соколиную охоту устроим на попа. Ха-ха!.. Мотенька, голубушка, что же ты мне раньше-то ничего не сказала? Пусть Блохин посмотрит, какую мы обедню отслужим попу... Ну, и штука только. Сейчас же позвать ко мне Федьку и Гуньку...

Дело опять закипело; Гунька и Федька отправились сейчас же в одну башкирскую деревушку за ястребами. До деревни было верст сто с лишком, и через полтора суток верные

слуги вернулись с пятью совсем выношенными ястребами, да кстати захватили с собой и башкира, хозяина ястребов. Предварительно было сделано несколько опытов над простыми голубями-сизяками; брошенные в воздух ястребы производили настоящие чудеса, так что Евграф Павлыч остался совершенно доволен ястребиной охотой и вперед потирал руки от удовольствия.

— Лихо взвеселим попа, — заявлял Федька, который тоже был рад насолить драчуну. — Будет настоящая потеха.

Чтобы повести дело наверняка, через особенных посланцев было узнано во всех подробностях, как и когда поп Андрон гоняет своих палевых голубей. Оказалось, что старик сильно сторожился и в ожидании нечаянного нападения ставил на опасных пунктах особых караульных.

— А мы все-таки его утешим, — смеялся Евграф Павлыч над попом Андроном. — Пусть караулит, а мы ему ястребочков поднесем: как пить дадим палевым голубкам.

Выбрали летнее туманное утро, и еще затемно по направлению к Ключикам выехала

из Кургатского завода настоящая охота: восемь вершников с Евграфом Павлычем во главе. Решено было накрыть попа с голубями как раз в тот момент, когда он делал раннюю гонку. Сам Евграф Павлыч ехал верхом на любимой соловой кобыле, за ним по пятам следовали на гнедых киргизах Гунька и Федька; башкир с ястребами составлял центр экспедиции, которая замыкалась четырьмя охотниками, прихваченными на всякий случай.

Начинало светать, то есть восточная сторона неба сделалась серой, потом побелела, и только мало-помалу через эту предрассветную, белесоватую мглу начали сквозить розовые тона занимавшейся зари. Дорога шла большею частью по берегу цветущего Кургата, задернутого теперь сплошной туманной пеленой. Лошади фыркали и звонко били копытами укатанную землю; в ближайших речных кустах заливалась какая-то невидимая птичка, радовавшаяся всем своим маленьким сердцем наступавшему дню. Евграф Павлыч давно не ездил верхом и теперь сидел на мягком туркменском седле, как мешок; ему сильно дремалось и дорога казалась бесконечной.

«Уж уважим попа», — думал он, зевая.

Гунька тоже, грешным делом, клевал носом в седле, хотя каждый раз бодрился и вытягивался, как встрепанный, чтобы барин не заметил оплошки; он думал о черноволосой, смуглой Анне, которую давно присмотрел себе в жены и о которой не смел заикнуться барину, чтобы не испортить дела. Немка обещала женить, если Гунька будет служить верой и правдой. Зачем ехал барин в Ключики и кто натравил его на попа Андрона, Гунька отлично знал, но молчал, как пень. Ехавший рядом с ним Федька тихо посвистывал и ежил плечи от холода; ему хотелось спать, но перспектива насолить попу Андрону заставляла его улыбаться. Иногда перед ним вставала Марина, о которой он скучал. Увидит он ее сегодня или нет? Не таковская девка, чтобы испугалась отца, но черт ее знает: девичья память короткая, до порога.

Не доезжая с полверсты до Ключиков, Евграф Павлыч послал одного из охотников узнать, что делается в поповском доме. Посланный вернулся через полчаса и доложил, что у попа гости играют в карты.

— Отлично, — проговорил Евграф Павлыч и отправился в деревню в сопровождении ястребятника-башкира и Федьки.

Гунька с охотниками был отряжен в обход поповского дома и по первому сигналу должен был спешить на выручку.

— Лучше всего, если вы незаметно заберетесь в поповский сад, — командовал барин, — но боже вас сохрани попасться попу на глаза: всю шкуру спущу нагайками...

На всякий случай Гуньке был дан тоже ястреб.

У первой избы лошади были остановлены, и Евграф Павлыч сам-третей отправился к поповскому дому. Они засели в ближайшем огороде и терпеливо принялись выжидать, когда поп Андрон выйдет на голубятню. Ждать пришлось довольно долго. Большое село начало просыпаться из конца в конец, блеяли овцы, мычали коровы, затрубил пастух в рожок. Солнце выкатилось золотым туманным шаром из-за Кургата, на реке волнами заходил белый волокнистый туман.

«А если поп Андрон не выйдет?» — думал каждый из охотников. Трава была мокрая, и

лежать в ней не представляло особенного удовольствия, а поп все не показывался, точно смеялся над засадой. Потянуло дымком от затопившихся печек, где-то неугомонно лаяла охрипшая со злости собака.

Евграф Павлыч, лежа в траве, начал было уже совсем засыпать, как Федька ткнул его в бок локтем и прошептал:

— Поп...

Действительно, на поповской голубятне показалась приземистая фигура попа Андрона; он зорко осмотрел окрестности и только потом растворил голубятню; из-за решетчатых дверец голуби высыпали на крышу, а потом взмыли кверху, как брошенная в воздух горсть белого пуха. Выждав, когда старик совсем увлекся своим занятием и с ожесточением принялся бегать по голубятне, постоянно взмахивая шестиком, Евграф Павлыч тронулся вперед. Засада благополучно проследовала до следующей избы; оставалось перейти улицу, но караульный, посаженный попом на крыше сарая, вовремя заметил опасность и пронзительно свистнул. Нужно было высмотреть кружившихся палевых голубей и потом

уже спустить на них ястреба, но теперь было не до того; Евграф Павлыч взял у башкира самую большую птицу, снял у ней с головы кожаный колпачок и подбросил вверх. Ястреб, сильным движением крыльев, сразу начал забирать вверх.

— Бросай второго, бросай третьего! — закричал башкиру Евграф Павлыч, когда голуби метнулись к голубятне.

Поп Андрон не ожидал именно такой штуки от своего неприятеля и совсем растерялся; дверь в голубятню была заперта, голуби сбились на коньке крыши в трепетавшую крыльями живую кучу, а три ястреба спускались все ближе и ближе. Поп Андрон как-то совсем обезумел, присел и всей своей могучей грудью заорал:

— Батюшки, помогите... караул! Ой, батюшки, помогите!

— Катай четвертого ястреба! — крикнул Евграф Павлыч и подал сигнал Гуньке.

Пять ястребов произвели настоящую атаку: в несколько секунд голубятня покрылась пухом и перьями разорванных голубей, несмотря на самое отчаянное сопротивление

попа Андрона, отбивавшего их от нападавших ястребов своим шестиком.

— Ой, караул... батюшки, грабят! — крикнул старик.

— Дуй его, лупи! — неистово орал с улицы Евграф Павлыч, походивший на исступленного. — Бей, катай!..

На этот страшный гвалт прежде всего выбежали гости: заседатель Блохин и запрещенный поп в зеленом подряснике, а потом со всех сторон набежали поповские строшные. На подмогу барину явился Гунька со своими охотниками. Из деревни начали собираться мужики, бабы и ребятишки, захватившие на всякий случай кто что мог. Блохин бросился вперед и приступил к Евграфу Павлычу с усиленным молением о пощаде.

— Голубчик, батюшка, Евграф Павлыч, уймитесь, ради Христа! — умолял он и старался поймать расходившегося барина за руки. — Ведь это что же такое? Уголовство...

— Бей, катай! — кричал Евграф Павлыч хриплым голосом и бросился на поповский двор. — Я ему покажу, простоволосому, каков есть человек Евграф Павлыч... Федька, Гунь-

ка, за мной!

В воротах завязалась жестокая свалка между катаевскими охотниками и поповскими строшными. Откуда-то явились поленья и палки, мелькнуло несколько окровавленных лиц. Евграф Павлыч и Федька Ремянников работали за десятерых, как два медведя, так что первыми пробились в ворота и очутились на поповском дворе.

— Где поп? Дайте мне его, — орал Евграф Павлыч, порываясь к голубятне, с которой слезал поп Андрон и по пути засучивал рукава своей ситцевой рубашки.

Федька запер ворота изнутри и ждал, чем все это кончится. Старик Андрон шел на врага как был в голубятне — босой и в одном белье; лицо у него было бледное, и только глаза светились, как у волка. Евграф Павлыч встал в боевую позицию и тоже засучил рукава. Ввиду готовившегося поединка заседатель пустился на отчаянное средство: он бросился в ноги Евграфу Павлычу и на коленях принялся молить о пощаде, но получил такого пинка, что кубарем откатился к самым воротам, как гнилушка. В самый критический момент,

когда враги готовы были сцепиться, раздался раздирающий женский крик: в одной рубашке, с распущенными волосами стояла Марина... Она только что вскочила с постели и выбежала из своей комнаты в чем была.

Евграф Павлыч оглянулся на крик и обомлел от изумления; руки у него опустились, и он с раскрытым ртом смотрел то на попа Андрона, то на Марину.

— Кто это?.. а?.. — шептал он, обращаясь в пространство.

— Это я, разбойник! — заревел поп Андрон, схватив Евграфа Павлыча по-медвежьи прямо за затылок. — Есть и на тебя управа.

— Постой, поп, отпусти! — умолял Евграф Павлыч, напрасно стараясь освободиться от придавившей его железной руки. — Дай всего одно слово сказать, а потом хоть разорви...

— Говори, — коротко приказал поп Андрон, не отпуская своей жертвы.

Евграф Павлыч оглянулся еще раз, но Марина уже скрылась к себе в комнату.

— Это твоя дочь? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Ну, положим, что дочь...

— Дочь? Попище, прости ты меня, ради Христа, — вдруг взмолился гордый кургатский барин и даже повалился попу Андрону в ноги. — За все заплачу, озолочу тебя, ну, помиримся.

Поп Андрон как-то совсем одурел от этой второй неожиданности и выпустил затылок врага из своей десницы. На выручку подоспел Блохин и тоже принялся упрашивать попа Андрона.

— Поцелуемся, поп, — предложил Евграф Павлыч и облапил своего недавнего врага.

— Ну, черт с тобой, поцелуемся, — соглашался поп Андрон и прибавил: — А за голубей ты мне заплатишь... да.

— Сейчас тысячу отдам.

— Давно бы так, братие! — с умилением шептал Блохин и даже прослезился. — Ладно вы, Евграф Павлыч, меня саданули: все вздохи отшибли.

IX

Примирение враждовавших сторон состоялось при самой торжественной обстановке, начиная с того, что собравшемуся на драку мужичью была выкачена из поповского по-

греба сорокаведерная бочка пенного, конечно, в счет Евграфа Павлыча.

— Гуляй, братцы, в мою голову! — кричал в окно поповского дома сам барин. — Бабам сладкой водки, девкам пряников...

Гунька был отправлен в Кургатский завод нарочным с поручением привезти оттуда всякого провианта и господский оркестр музыкантов. Это известие сначала заметно смутило Матильду Карловну, но, расспросив обстоятельства дела, она успокоилась и только усмехнулась: она поняла намерение развернувшегося Евграфа Павлыча.

— Кланяйся барину, да скажи от меня, что не по себе дерево хочет согнуть, — наказывала она, между прочим, отправлявшемуся в обратный путь Гуньке. — Обожжется, пожалуй...

Гунька передал этот наказ в точности, но Евграф Павлыч даже не рассердился, а только промолвил:

— Ученого учить — только портить...

В поповском доме разлилось настоящее море: играла катаевская музыка, пили, играли в карты, — так вплоть до самой ночи, и

ночь напролет, и следующий день. Евграф Павлыч требовал только одного, чтобы поповна Марина из своих белых рук подносила ему рюмку за рюмкой, а он целовал у ней руки и вообще ухаживал, как старый петух.

— Ну, попище Андронище, и дочь только ты вырастил! — похваливал Евграф Павлыч, ухмыляясь. — Всему миру на украшение...

— Нашел диво, — ворчал для виду старый поп, польщенный похвалой гостя. — Все они, девки-то, на одну колодку. А вот лучше выпьем, Евграф Павлыч, стомаха ради и частых недуг...

Захмелевший Евграф Павлыч заставил музыкантов играть плясовую и мигнул Федьке, первому своему плясуну, чтобы вставал в пару с Мариной.

Девушка сначала отнекивалась, но потом должна была согласиться на усиленные просьбы всей кутившей компании. Музыка грянула, Федька лихо пошел выделывать какое-то замысловатое цыганское колено, но Евграф Павлыч его остановил:

— Погоди, Федя, ты еще напляшешься... дай нам, старикам, старинку вспомнить. Сам

буду плясать с Мариной Андроновной.?

Когда-то Евграф Павлыч лихо плясал — как говорится, только стружки летели, — но теперь отяжелел и выделывал колена очень грузно. Зато, отплясав, он расцеловал поповну прямо в губы и проговорил:

— Вот люблю, Маринушка... изуважила старика! Люблю за молодецкий обычай...

Евграф Павлыч долго не выпускал из своей лапищи белую и мягкую руку Марины и все время заглядывал ей в опущенные глаза, на подымавшуюся волной высокую грудь, на горячий девичий румянец, на дрожавшую на алых губах вызывающую улыбку.

Марина плясала так себе, больше помахивала платочком, но разгулявшимся старикам не много было нужно.

Федька Ремянников присутствовал при общем веселье, пил вместе с другими, но выглядел угрюмо, волк-волком; он отлично понимал, отчего развеселился Евграф Павлович и что завелось у него на уме. На Марину Ремянников старался совсем не смотреть: без того было тошнехонько, и даже вино не пьянило.

— Братие! — выкрикивал заседатель и лез

ко всем целоваться. — Слава тебе, царю небесный... Вот и помирились. Родимые мои...

Заседатель на вторые сутки совсем развинтился и напрасно отыскивал уголка, где бы вздремнуть: его разыскивали, встряхивали и опять заставляли пить.

— Ты вот что, Федя, — говорил Евграф Павлыч Ремянникову под шумок, — заседатель еле на ногах держится... Попа Андрона я спою, а ты накачивай этого зеленого попа. Понимаешь?

— Понимаю, Евграф Павлыч.

— Ну, а я отсюда не уеду, пока не развяжу узелка.

— Понимаю, Евграф Павлыч.

Намерения барина были вполне ясны: он увлекся востроглазой поповной Мариной, которая сама заигрывала с ним глазами. Евграфа Павлыча бросало в жар и холод, когда она смеялась.

«Будешь моя, голубушка, — думал разгоревшийся самодур-заводчик. — Год проживу здесь, а не отступлюсь. Вот так девка: вся яблоком, не чета моим-то птахам».

Ремянников следил за этой двойной игрой

и чувствовал, как сам он делается точно чужой себе, точно застыл, а на сердце так и накипает жестокая, смертная злоба.

«Постой, я покажу тебе, как узелки развязывают», — думал Федька, глядя на Евграфа Павлыча исподлобья, и даже сам вздрагивал. Что-то такое красное застилало ему глаза, и все представлялось лицо барина, бледное, искаженное предсмертными судорогами, с выкатившимися глазами. Да, он убьет его и Маринушку, подлую, по пути: семь бед — один ответ. Накажут плетями, потом пошлют в каторгу, потом он убежит и будет бродяжить здесь же на заводах. Не он первый, не он последний. А вот и эшафот готов... палач в красной рубахе похаживает и вытягивает длинную ременную плеть... Кругом тысячная толпа народу... Господи, как страшно!.. Федька поднимается на эшафот, и вдруг у него захолонуло на душе, но он собрал все силы, перекрестился, поклонился на все четыре стороны...

— Ты что это, Феденька, задумался? — пристает зеленый поп.

— Да так... о тебе, батька, соскучился. Вы-

пьем!

«Зеленый поп» на вид был такой вихлястый и жиденький, пальцем ударить, так переломится, а пить был здоров: пьет, как дудка, и конец. Пьет и смеется, да еще свои гнилые зубы показывает. Федька все-таки помнил наказ Евграфа Павлыча и старался всеми силами накачать водкой зеленого попа до положения риз.

— Невинно вино, а укоризненно пианство, — повторял зеленый поп перед каждой рюмкой и опять показывал свои гнилые зубы.

«Ах ты, гнилушка проклятущая», — начал сердиться Ремянников и серьезно принялся за свое поручение, заставляя зеленого попа хлопать одну рюмку за другой.

Марина появлялась к гостям только по зову или посмотреть на отца, который все еще держался на ногах, а потом уходила к себе в комнату, где и запиралась на крючок. Пьяный Евграф Павлыч, улучив минуту, несколько раз пробовал, под шумок, незаметно пробраться к поповне, но каждый раз ему что-нибудь мешало: то зеленый поп подвернется, то пьяный Блохин. Раз Евграф Павлыч совсем

был у цели и даже осторожно постучал в дверь поповне.

— Кто там? — окликнула Марина вполголоса.

— Это я, Маринушка... Отвори, словечко надо сказать.

— Я боюсь...

Без сомнения, еще четверть часа — и поповна отворила бы дверь. Евграф Павлыч клялся и божился после, что отворила бы, но как на грех притащился поп Андрон, схватил Евграфа Павлыча за ухо и увел к гостям.

— Сие не подобает, — строго заметил старик и погрозил своим коротким пальцем. — А то я тебе все ребра переломаю.

— Да ведь я так... мимо шел, — оправдывался Евграф Павлыч, как пойманный школьник.

— И мимо не ходи, да и другим закажи, поелику не подобает. Видел заседателя-то?

— Блохина?

— Ну, его самого... Так вот этот самый Блохин изъявляет свое желание обручиться с девицей, нареченной Мариной.

— Ну, уж этому не бывать, попище!.. Пусть

поищет другую твой заседатель, а Марина его ногами затопчет.

— Не от нас это строится, Евграф Павлыч: кого господь укажет, за тем и быть Марине.

Это известие еще больше разгорячило Евграфа Павлыча, и он еще больше начал пьянеть от одной мысли о соблазнительной близости запретного плода. Ну, да ничего, только бы споить попов, а там все уладится само собой...

Это жестокое пьянство продолжалось ровно три дня и три ночи. Евграф Павлыч помнил, как сквозь сон, что поп Андрон преподнес им какую-то заветную наливку на каких-то травах — целую ведерную бутыль. Все пили рюмку за рюмкой, так что под конец у Евграфа Павлыча заходили столбы в голове. Потом все как-то перемешалось, точно было подернуто дымкой.

На четвертый день. Евграф Павлыч проснулся поздно. Голова у него трещала, как расколотая. Он долго не мог открыть слипавшиеся глаза, пока не повел рукой. Рядом с ним на подушке лежала другая голова. Евграф Павлыч быстро поднялся на постели и

даже раскрыл рот от удивления: он лежал на какой-то необыкновенно широкой кровати, а рядом с ним спала поповна Марина. Да, это была она, вся розовая, в сиянии своих рассыпавшихся золотых волос...

— Где же это я? — старался припомнить Евграф Павлыч и потом ударил себя по лбу. — В Ключиках, у попа Андрона... ха-ха!.. Очень хорошо... Однако ведь это, кажется, комната Марины? Да, да, все были пьяны, потом... потом...

Марина проснулась и смотрела на Евграфа Павлыча заспанными, улыбавшимися глазами и нисколько не стеснялась своего нового положения, а даже потянулась, как кошка, и обняла его своей теплой, белой рукой.

— Здорово кутнули, — проговорил наконец Евграф Павлыч, напрасно стараясь припомнить подробности этой ночи. — Послушай, Марина, я тихонько вылезу в окно, а то, пожалуй, поп Андрон проснется, и тогда плохо будет...

Поповна ничего не ответила, а только быстро спрятала свое улыбавшееся, залитое румянцем лицо в подушку.

«Вот молодец девка!» — невольно подумал Евграф Павлыч, поцеловал Марину в крепкий затылок, точно затканный вившимися золотыми волосиками, и начал быстро одеваться.

Окна были завешены кисейными занавесками, но через них можно было рассмотреть, как по двору ходили какие-то люди (окна из комнаты Марины выходили во двор). Значит, бежать через окно нечего было и думать. Оставалась дверь, но за дверью в соседней комнате слышались чьи-то шаги и осторожное покашливанье.

«Ох, плохо дело, поп проснулся, — со страхом подумал Евграф Павлыч, не зная, как ему выбраться от ласковой поповны. — А, все равно, скажу, что попал сюда пьяный... ничего не помню... отлично!»

Евграф Павлыч приосанился, приотворил дверь и увидел в соседней комнате кипевший самовар, за самоваром «зеленого попа» и самого попа Андрона, который сидел на диване в больших серебряных очках и читал какую-то книгу в черном кожаном переплете. Деваться было некуда, и Евграф Павлыч вышел, немного сконфуженный.

— А, вот и ты, — весело заговорил поп Андрон и пошел навстречу к Евграфу Павлычу с распростертыми объятиями. — Ну, Евграфушка, давай поцелуемся.

Зеленый поп тоже показывал все свои гнилые зубы и тоже полез обниматься.

— Слава богу, слава богу! — повторял зеленый поп. — Поздравляем вас, Евграф Павлыч, с законным браком...

— С каким законным браком?

— А то как же? Изволили вчерашнего числа вступить в закон, — объяснил зеленый поп. — С радости-то, видно, всю память отшибло... Я вас и венчал, Блохин был свидетелем. Да...

— Да вы с ума сошли, простоволосые черти! — не своим голосом закричал Евграф Павлыч и только теперь припомнил, что действительно был в церкви вчера, горели свечи и т. д. — Это вы пьяного меня обвенчали?.. а?

— Полно шутить, Евграфушка, — серьезным тоном заговорил поп Андрон. — Не такое это дело... Я не навяливался с дочерью: сам в ногах ползал у меня да просил согласия.

— А где Федька?

— На погребице вместе с Блохиным лежат вторые сутки: зело угобзились...

Евграф Павлыч подумал, подумал, покачал головой и наконец проговорил:

— Ну, попище, перехитрил ты меня... да, ловко околпачил...

X

Свадьба была отпразднована на той же ноге в Ключиках, и празднество продолжалось целую неделю. В ознаменование торжества вся посуда в поповском доме была перебита влоск, переломана вся мебель, и, войдя в азарт, пьяные гости изорвали в клочья все платье друг на друге, так что для продолжения праздника из Кургатского завода была выписана целая партия киргизских азямов, которыми и прикрылась пьяная нагота. В этой свалке погиб и знаменитый зеленый подрясник запрещенного попа, обвенчавшего молодых.

Пока происходило все это неистовство, Евграф Павлыч послал Гуньку в завод с лаконическим приказанием: в три дня разнести девичью при господском доме до последнего камешка, а на ее месте разбить к приезду моло-

дых цветник. Но как быть с Мотей и ее воспитанницами? Этот вопрос Евграф Павлыч никак не мог разрешить и оставил открытым до своего прибытия, хотя и побаивался молодой жены, которая оказалась с ноготком.

Впрочем, дело уладилось как-то само собой. Марина Андроновна по приезде в Кургатский завод даже и вида не подала, что знает что-нибудь о существовании девичьей и о той роли, какую играла в ней Матильда Карловна. С немкой встретилась она дружелюбно и даже сблизилась с ней.

— Я тебя, Мотя, не пущу, — заявила Марина, когда немка начала собираться восвояси. — Ты мне не мешаешь, а одной мне скучно... Живи у нас экономкой, а то я что же буду делать здесь без тебя? Ты все знаешь и все умеешь сделать.

Так немка Мантилья и осталась при господском доме, хотя Евграфа Павлыча в первое время немного и коробило, когда случалось обедать втроем.

В каких-нибудь полгода все в кургатском доме пошло на новую руку, хотя, по-видимому, молодая сама ничего и не делала: ряди-

лась, ела, спала — и только. Она оказалась какая-то равнодушная ко всему и часто не знала, чем и как убить время. Евграф Павлыч тоже как-то вдруг притих и опустился, как проколотый пузырь, и даже начал заметно припадать на одну ножку, значит вступил в закон в самый раз. О прежней развеселой жизни, конечно, не могло быть и помину, и Евграф Павлыч рад был, как празднику, когда в Кургат навернется какой-нибудь новенький человек.

Однако, несмотря на свое видимое равнодушие, Марина успела пристроить всех девушек, воспитанных в девичьей, то есть наградила приданым и выдала замуж. Свадьба Матреши и Даши была в один день, а потом они явились со своими мужьями благодарить барыню за великую милость. Глядя на улыбавшихся молодых, Марина Андроновна легонько-легонько вздохнула и прослезилась.

— Нам и бога за вас не замолить, матушка-барыня, — объясняла бойкая Даша. — Как бы не вы, так уж и не знаю, что бы такое со всеми было...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — за-

метила Марина Андроновна и отпустила молодых с новыми подарками.

— Теперь только тебя, Мотя, осталось пристроить да Анфису, — говорила Марина Андроновна.

— Чего еще нам нужно? И так проживем, — ответила Матильда Карловна и слегка зарумянилась.

— Зачем ты скрываешься от меня, Мотя? Я ведь все знаю... Погоди, выдам тебя за Ремянникова... Он ведь тебя очень любит, я знаю.

Всю подноготную кургатского господского дома Марина Андроновна знала через горбатую Анфису, которая быстро втерлась в доверие к барыне и, между прочим, рассказала роман немки Матильды и, кстати, свой собственный.

— Надо их женить, — решила Марина Андроновна. — Будет Федьке неокрученным шататься.

— Тоскует он, матушка-барыня, — вкрадчиво докладывала горбунья, стараясь подметить, как переменится в лице Марина Андроновна при этом намеке на милого дружка.

— А вот женится, так и перестанет тоско-

вать.... Мотя его приберет к рукам. Шелковый будет...

Ремянников бежал из Ключиков, как только проснулся после поповского угощения, и недели две вылежал в своем флигеле, сказываясь больным. Этот неожиданный оборот дела расстроил весь его план убийства барина: дело сделано, теперь не поможешь. Долго сидел Ремянников в своем флигельке, пил водку с Яшей и все думал о чем-то: упрется глазами в стену и молчит. Даже похудел от постоянной думы, — лицо осунулось, глаза ввалились, русые кудри скатались в одну шапку: не для кого их было расчесывать.

Яша-Херувим кашлял с каждым днем все сильнее, бросил пить водку и все молился: он таял как свеча. Особенно тяжело доставались Яше бессонные ночи, когда все кругом стихало и только за печкой трещал сверчок свою бесконечную песню. Ремянников спал как убитый или уходил куда-нибудь. Однажды Яше сделалось особенно тяжело: душил страшно кашель, била лихорадка, в глазах мутилось. «Смерть приходит», — с ужасом думал больной и тихо заплакал. О чем он горе-

вал? Родных у него не было, сначала он был певчим в церковном хоре, потом служил мальчиком в трактире и, наконец, попал в хор каких-то странствующих певчих. Так шел год за годом, вечное пьянство, беспорядочная холостая жизнь, тоска. Все это теперь перебирал Яша в своем больном уме, и ему делалось еще тяжелее: в этой пестрой, беспорядочной жизни не было ни одного светлого мгновения, ни одной радости.

— Свиньей жил... в грязи бродил... — стонал Яша, падая головой в подушку. — Давно пора умирать!

В Москве Яша познакомился с Матильдой Карловной, которая тогда жила еще с матерью. Она была такая беленькая, хорошенькая девочка, совсем еще молоденькая. Яше ужасно было жаль, что она убивается над работой в магазин, и захотелось остепениться, чтобы чем-нибудь помогать ей. В его душе затеплилось что-то вроде любви; но это чувство оборвалось в самом начале. В Москву приехал Евграф Павлыч и купил у матери маленькую немочку, а по пути захватил с собой нескольких певчих для своего заводского хора. У Яши

был еще голос, и он тоже поехал за своей немочкой куда-то в Сибирь.

Дальше... что было дальше — Яша затруднился бы рассказать даже себе самому: то же бесшабашное пьянство, вечное похмелье и непроходимое свинство. Да, все грехи да грехи, точно бесконечная паутина. Стояла уж осень, листья давно облетели с деревьев и в саду с воем и свистом рвался холодный осенний ветер. Дождь то переставал, то начинал идти снова, и слышно было, как слезливо журчала вода по водосточной трубе. Неприятно, глухо, уныло было все кругом, точно не будет завтрашнего дня. Мысли в голове Яши начинали путаться, напал какой-то страх, и он тихо вскрикнул, но этот слабый, глухой крик испугал его еще более, точно возле него крикнул кто-то другой. Яша уже не в первый раз слышал этот крик и не узнавал собственного голоса. Теперь, охваченный паническим ужасом, Яша поднялся с постели и начал звать Ремянникова, который спал мертвым сном.

— Ну, чего тебе?... а?.. — бормотал Ремянников сквозь сон.

— Федя, голубчик... страшно мне, — шеп-

тал Яша, наклоняясь над самым изголовьем спавшего друга. — Ты не слыхал ничего, Федя?.. По ночам кто-то у нас кричит... так и слышно, что под землей кто-то этак глухо стонет и опять молчит.

— Ну и пусть кричит... Эк тебя взяло, Яшка!.. Только спать мешаешь...

— Да ведь кричит, Федя... Это он меня зовет в землю. Ох, как страшно, Федя, умирать; темно кругом... холодно... а там страшный суд, за каждый грех должен ответ дать. Феденька, голубчик, прости ты меня, ради Христа, ежели я тебя чем обидел...

— Ты обидел меня? — удивился Ремянников; как он ни хотел спать, но мысль, что Яша мог кого-нибудь обидеть, заставила его расхохотаться. — Вот ты клопов, Яша, часто обижал; у них проси прощения... Ха-ха! Обидел!.. Уж только и придумает!

— А вот и обидел я тебя, Федя, — упрямо продолжал Яша, с трудом прокашливаясь. — Помнишь попа-то Андрона... когда он вас с Мариной в беседке застал? Это я его подвел... Феденька, голубчик, прости меня!..

Яша совсем упал на пол и несколько раз

ударил лбом в знак полного раскаяния.

Это признание точно ужалило Ремянникова; он вскочил с постели и схватил Яшу за его худые, костлявые плечи.

— Яшка, так это ты подвел?.. а? — шептал Ремянников, начиная сжимать корчившегося в его руках Яшу.

— Я... прости, Христа ради... ой, больно!.. Ты мне добро делал, а я вот какую шутку устроил... Ох, Феденька, тяжело на душе... согрешил я против тебя...

Ремянников на минуту задумался, а потом спросил:

— Для чего тебе-то, Яша, нужно было подводить попа? Ведь ты меня зарезал... Да если бы я знал это раньше, я тебя тут же бы и задушил. Не видать бы тогда Евграфу Павлычу Марины, как своих ушей. Яшка, я и теперь задушу тебя...

— Убей, ну, убей... — беззащитно проговорил Яша, опуская руки.

— И убью... Ну, говори, кто тебя научил?.. а? Ведь это ты не своим умом придумал?... а?

— Все скажу, Федя... Тогда пришла ко мне вот сюда во флигель Мантилья и велела ехать

в Ключики; она и научила, как попа на тебя с Мариной подвести...

— Так вот кто... Мотька все устроила! — застонал Ремянников и в отчаянии рванул себя за волосы.

— Гунька тогда возил нас в Ключики-то, — продолжал Яша, припоминая свою поездку.

— Кого нас?

— Ну, нас: меня да Анфису... Сперва-то сама Мантилья хотела ехать со мной, да ей нельзя было.

— Вот оно что! — повторил Ремянников несколько раз, стараясь что-то припомнить. — Так... значит, и палевые голуби отсюда же прилетели! Ловко... Ну, я с ними со всеми расправлюсь.

— С кем это?

— А уж это мое дело...

— Ты, Федя, пожалуйста, не сердись на Мантилью-то: она ведь любит тебя, а это я виноват...

— Убирайся к черту!

Ремянников крепко призадумался. Он два дня ходил из угла в угол по своей комнате, два дня не ел и не пил и наконец куда-то ис-

чез.

Как-то утром Евграф Павлыч с молодой женой пил чай в столовой. Марина Андроновна была свежее весеннего утра и в своем кружевном утреннем пеньюаре выглядела настоящей русской красавицей.

— Ремянников желает видеть вас, — докладывала горбатая Анфиса.

— Пусть идет. Что за доклады? — грубо ответил Евграф Павлыч. — Что-то давненько я его не видал: совсем извелся парень... Все неможется ему что-то.

Когда горбунья ушла, Марина Андроновна проговорила с лукавой улыбкой:

— А вот мы его вылечим скоро... У меня лекарство есть от его болезни.

— Какое такое лекарство?

— Да уж такое!.. Федор давно ведь был влюблен в Мотю...

— В самом деле? Вот это интересно. А я и не подозревал ничего! Скажите, пожалуйста...

— Мало ли ты чего не знаешь.

— Да, да... гм... Это бывает иногда. Что же, с богом...

В этот момент в столовую быстро вошел

Ремянников и на мгновение остановился в дверях. Он был так бледен, что Марина Андроновна испуганно посмотрела на мужа и сделала невольное движение уйти, но Ремянников твердой походкой подошел прямо к ней и повалился в ноги.

— Федор, что ты, что ты? — испугалась совсем Марина Андроновна.

— Марина Андроновна прости меня... — проговорил Ремянников, не поднимая головы.

— Что с тобой, Федя? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Прикажите меня связать, Евграф Павлыч... — глухо ответил Ремянников, поднимаясь на ноги. — Там, в саду... где стояла девичья...

В саду, на мокрой земле, между клумбами почерневших и высохших цветов, валялся обезображенный труп Матильды Карловны: несчастная девушка была засечена нагайкой и представляла теперь безобразный кусок страшно избитого мяса, так что на спине сквозь клочья одежды белели кости.

Родительская кровь

I

Лес, лес и лес... Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих, — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять леса только на Урале.

Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих

гор, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются, как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.

Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк, и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт со-

всем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным, чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь...

Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тянутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью листвени, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темно-зеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться

около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, в глубине — глухарь, в болоте — дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» протекала река Пластунья, очень болотистая и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила чрез какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.

Около этой «середовины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, — летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чучело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середовины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко заходил в «середовину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середовину», которая во всем своем составе на

двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту — «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет — неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах — это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась к самому

бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета, особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.

— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодцевато закручивая усы. — Конечно, маненько в разу был... от знакомого барина ехал... славный такой барин в городу у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило... Почитай, цельную ночь по середовине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажен двести.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон.

Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятишками и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.

— А вы вот что мне скажите, барин, — приставал Секрет к каждому новому знакомо-

му, — чем я теперь живу в лесу?..

— Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник...

— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная... Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь... Ей-богу!..

В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.

— Кабы не господа — пропадай! — заявлял Секрет сам. — От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает... Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа,

ну и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь — страсть!.. Ну, зимой, обыкновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь... С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить — другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что — один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять... Ей-богу, такие фокусы строят — кто что придумает!..

Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.

— Лучшие самые господа приезжают, — объяснял Секрет при каждом удобном случае. — Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается... а нельзя, потому я должен уважить.

Одним словом, в качестве «прахтикова иного» мужика Секрет умел «утрафить» всем

и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном имени лесоворов.

— Варнаки и душегубы все до единого, — кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. — Во как по пояснице изуважили в позапрошлом году, — пять дён вылежал... А то по глазу хлобыснули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладе-

но — и счет потерял.

— Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?

— Обнакновенно, разговор короткий; я их, варнаков, вашескородие, сухим горохом стреляю... На, носи — не потеряй, голубчик!.. И только расшельма и народец: один беспалый ездит, а другой — с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают — страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескородие, сложа руки?.. Сколь мога и я их веселю... Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не однова меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу... Бож-же сохрани!

Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:

— А несдобровать, барин, середовине-то... ох, несдобровать!..

— Почему так?

— Да уж так: сердце чует... Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-

то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул... И переведут, беспременно переведут, потому кругом голо — один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел... Уйму леса извели проклятущие, точно они его жрут, потому известно — чужое, разе жаль его: повертится немец-то год — два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине...

Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженях в двадцати от сторожки.

— Мне бы самовар, — попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостои-

ла ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.

Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то хорошими господами. Оставалось идти под березки — очень веселое и тенистое место днем, — господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.

— В самый раз, вашескородие... прреотлично! — встретил меня Секрет, торопливо вскакивая с земли. — А мы тут с Евстратом Семеновичем чаишко швыркаем и насчет мухи...

Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на траве, лежал громадного роста «мушина», как говорят горничные. По длиннополому сюртуку, красной рубахе навыпуск

и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мущину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то лядунки доказывали несомненную принадлежность «мущины» к лику охотников.

— Они по торговой части, из Пластунского завода, — лебезил Секрет, закручивая усы. — Может, слыхали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи...

— Не ври ты, ради Христа, — отозвался лениво Важенин, не поворачивая головы в мою сторону. — Полфунта чаю да голова сахару — вот и вся наша колониальная торговля...

Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, бородка, белыезубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опушенные длинными загнутыми ресницами, замет-

но слипались, потому что Важенин был «в разу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.

— Побаловаться чайком, — приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. — А мы вот тут того маненько... разгрызли полштофчик.

Пока Секрет рассказывал, как они «дрызнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищурив желтые глаза, внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.

— Это ваша собачка? — спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. — Ничего, форменный песик... А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?

— Да так... Извините, нескромный вопрос:

вы из старообрядцев?

— Около того... по родителям-то совсем кержак, а сам-то по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?

— Потому что все старообрядцы не любят собак...

— Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?

— Нет.

— А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса... Это и в книгах написано.

Мы разговорились, и я окончательно убедился, что где-то встречал этого Важенина, но где — не мог припомнить никак.

— Вы меня не узнаете? — спросил я, наконец. — Я где-то вас встречал, а не помню, где...

Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:

— Даже, можно сказать, весьма вас помню... Этому уж лет шесть будет, как вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запамятовали? Да и то сказать, что вам и пом-

нить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли в лежку....

— А, теперь вспомнил, — обрадовался я и тоже засмеялся.

Моя встреча с Важениным была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тяжело — томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:

— А ведь вы, господин, помрете... ей-богу,

помрете!..

Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.

— А плохо ваше место было тогда, — говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. — Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились... Может, еще и меня переживете, — прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. — Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое... Пожалуйте!..

В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы, и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Что-то такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная ска-

зочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспать такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.

Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.

— Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь[248] на свово-то родителя? — спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.

— Приходить не прихожу, а к слову сказать, — уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. — Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный роди-

тель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам счету не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать... Михряшев-то тогда по заводам страсть гремел — первый человек был, потому деньжищ уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал... Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку приедет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Ну, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшев хоша и из наших старооб-

рядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.

— Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?

— Вот поди ты... «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, — потому крепостной человек, — и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву — и грех примешь на душу, — потому своя воля...»

— А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то...

— Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоянный был человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился...

— А все-таки жаль: из-под носу ушло богачество-то, — жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. — Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.

— Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили... Даже

жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога.

— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других волок...

— Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать, — настоящим бы купцом сделался.

— Ишь ведь... а-ах, жаль, право, жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то... — соболезновал Секрет, ерзая по траве.

— Барин-то спит? — шепотом осведомился Важенин про меня, протягивая руку к бутылке.

— Спит... Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, — рекомендовал меня коварный Секрет.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету еще хотелось «дрызнуть», и он, как «прахтикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:

— А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?

— Померла нонешним годом...

— Вместе, значит, с Михряшевым?

— На одном месяцу.

— Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! — вздохнул Секрет и даже перекрестился. — Заступалась она за нашего брата, когда Иван Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина... И то замертво в лазарет унесли... Ох, лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят...» Троихто нас позвал. Пришли. Он на крылечке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаете вы меня...» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенных конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли — из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам

себя бьешь... Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вышибает, и базлать[249] перестал, а только молитву сотворил про себя, а Иван Антоныч все приговаривает да посмеивается — чистая смерть приходила... Спасибо, тогда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запорол бы насмерть. На рогожке без памяти тогда меня в лазарет сволокли, три недели вылежал... Ведь он тогда в скором времени до смерти запорол Никешку Зобнина, так под розгами и душу отдал.

— Ничего ему не было за Никешку?

— Ничего... все дело замяли, потому какой на Ивана Антоныча в те поры суд — темнота одна была.

— Сказывают, Харитина-то в большой бедности проживала напоследях... И куда, подумаешь, все девалось: у Ивана-то Антоныча вона сколько добра было накоплено — невпроворот!

— Что уж говорить... Только детей после Ивана Антоныча не осталось, умер он наско-

ре, духовной не оставил, ну, Харнтину племяннички и пустили в чем мать родила. Ей-богу... Вместе с Михряшевым бедовала в городу: и тот без гроша и она тоже Жаль глядеть было... Да что еще было: у Михряшева-то кой за кем были должишки в Пластунском, вот он как-то по зиме и соберись — с обратьними ямщиками к нам на Пластунский и прикатил. Шубенка-то на нем плохонькая, сам седой весь, отощал... И что бы думал, братец мой, походилпоходил по зазоду — ни одна шельма ну гроша не отдала, а над ним же, над стариком, потешаются, потому как есть совсем бессильный человек. А те ироды-то, приказчики-то его, даже чаю напиться не позвали старика... Ну, увидал я его и позвал к себе, так он даже заплакал. Ей-богу... «Вот, говорит, Евстратушка, наша судьба человечецкая: весь тут, и стар, и хладен, и гладен!» Переночевал у меня, покалякали... «А я, говорит, на них-то, на иродов-то, не прихожу — в ослеплении, говорит, поступают, а одного жаль, что вот ты тогда ко мне в приказчики не угодил — может, тебе бы тоже польза была, по крайности в люди вышел бы». Ну, и Харитина

страсть как бедовала в городу... на господ платье стирала и этим кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю — уж как рада была... Худая стала, да все кашляла, — так на работе и изошла вся...

Важенин вздохнул и налил стаканчик; Секрет заметно нагружался и начинал коснеть языком, но он пил до последнего издыхания.

— Хочу я тебя, Евстрат Семеныч, давно спросить... — говорил Секрет после выпивки, — то есть насчет этой самой Харитины... разное болтают... хе-хе!..

— Ну, чего болтают? — грубо спросил Важенин, приподнимаясь на локоть.

— Да насчет тебя, что будто имела она большое прилежание к тебе... хе-хе!.. Ей-богу, вот сейчас провалиться...

— Дурак!!.. Я вот тебе такое прилежание покажу.

— Да ведь я так, Евстрат Семеныч... не серчайте... с простоты.

— То-то, с просроты... Знаем мы твою простоту, черт!..

Пауза. Важенин тяжело ворочается; вопрос

Секрета, очевидно, задел его за живое, но он крепится. Опять стаканчик и глухое кряканье.

— Дурак!.. черт!.. Разве ты можешь это понимать, образина? — ругается Важенин, сжимая кулаки. — Я тебе такую проволочку пропишу. «Прилежание»?! Подлецы вы, вот что...

— Да ведь я...

— Поговори еще... ну, поговори?.. А ты знаешь, на скольком году Харитина вышла замуж-то?.. То-то вот и есть... «Прилежание»! Дьявола... Ивану-то Антонычу было под шестьдесят, когда он Харитину взял, а ей шестнадцатый годок шел... Из бедных была, ну, старик на ее красоту польстился. На моех глазах все было... Иван-то Антоныч на фабрику уйдет, а она ребячьим делом в куклы играть али ребятишек назовет да с ними давай кувыркаться... Право, черти!.. «Прилежание»... Какой у ней разум в те поры еще был: так, девчонка-девчонкой... А Иван Антоныч не разбирает — свое взыскивает, — потому муж. Сильно они вздорили по ночам, потому у ней еще ребячье на уме, а ему подай свое...

— Бил он ее, сказывают?..

— Бивал... Как-то раз приходит из фабрики, а Харитина заигралась в куклы, да пирогом с осетриной и опоздала — не дошел маненько пирожок-то. А Иван Антоныч уж за столом сидит и свою рюмочку предобеденную налил, ну, она со страхов-то недопеченный пирог и велела подавать... Тронул его Иван Антоныч да сейчас же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горнице, — та ревет не своим голосом, а ой приговаривает таково ласково: «Вот тебе, Харитинушка, пирожок с осетриной!.. Вот тебе, ангел мой, еще пирожок с осетринкой... Вот тебе, душенька, и еще... не я тебя, голубчик, наказываю, а сама себя бьешь!» Уж он ее таскал-таскал, колышматил-колышматил, пока не натешился, ну, пирог-то в это время и допекся, а Иван Антоныч обедать... Не красно ей жилось, уж что говорить. Плачет, бывало, как одна останется, рекой льется. Ну, сначала меня стеснялась будто, а потом при мне плакала... Убираешь, бывало, со стола или там что, а она сядет в уголок и примется причитать, — тоску такую наведет, хоть самому плакать, так в ту же пору. Конешно, дело наше маленькое: ви-

дишь — не видишь, слышишь — не слышишь... А потом уж стал я примечать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а как встретится глазами, вся вспольыхнет. Ну, стала как будто избегать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошел не так... Мое дело тоже молодое, так и захолодит на сердце, когда мимо идет, а ты стоишь в передней дурак-дураком, как статуй. А надо тебе сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взял да женил меня... Жена-то дома сидит, а Харитина на глазах постоянно, да и куда же жене до нее, потому барыня, одета всегда форменно и обращение свободное и всякое прочее. Глядели-глядели мы так-то друг на дружку, а тут Иван Антоныч куда-то уехал, оставил жену одну, ну, а Харитина меня тогда и заполучила по всей форме: и милый, и ненаглядный, и красавец, и сухой, не пареный... Известно, женская слабость.

— Уж что говорить... обнакновенно... уж тут музыка... А поди, страшно было Ивана-то Антоныча?

— Так страшно, так страшно, что коленки сами подгибаются, как он взглянет... а Хари-

тина, как есть, хоша бы бровью повела: веселая такая стала, и все ей надо помудренее что-нибудь над стариком посмеяться. Под носом у него такие штуки укалывала... Вот, поди ты с этими бабами — чистое помраченье!.. Ночью даже от мужа приходила ко мне в переднюю то... и смеется и плачет.

— И поди, подарки дарила... а?..

— Уж это по всей форме: всячины надарит, а я все беру...

— И деньгами, поди?

— И деньгами... Своими руками шелковую рубаху вышила да подарила. Только эта рубаха чуть меня не завела в гору, в медный рудник... Да. Обнакновенно, в доме-то уж начали за нами примечать, кто-то позавидовал мне, ну, и в полной форме Ивану Антонычу лепорт: так и так, миленькая-то женушка, Харитинушка, вот какие художества устроила с Евстратушком... Ха-ха!.. Ну, тогда-то и полсмеху не было. Идет раз Иван Антоныч, и такой веселый, я вытянулся перед ним в передней, а он меня прямо за ворот: «Славная у тебя, ангел мой, рубашка... Жена тебе вышивала, миленький?» — «Точно так-с...» — «Славная у те-

бя жена, ангел мой». Ну, и пошел мудрить, пошел наговаривать, а у меня душа в пятки: учуял, старый пес... Только что бы ты думал, братец ты мой, пошел Иван-то Антоныч от меня, пошатнулся и конец — кондрашка его хватил... На третий день преставился. Перед смертью-то пришел я прощаться к нему... узнал и едва так внятно проговорил: «В гору тебя, миленький... в гору». Это он хотел меня сгноить в медной шахте и сгноил бы, кабы господь веку дал.

— Ну, а потом-то как ты с Харитиной?..

— Чего как?.. Чистый ты дурак, Секрет... Она уехала в город жить, а я в Пластунском остался. Когда бывал в городу, захаживал к ней... Только уж тут совсем неспособное дело было.

— Обнакновенно, никакого интересу, потому забеднела Харитина-то... Чего с нее было взять-то!..

— Дурак, совсем не то... Неподходящее дело эта Харитина нашему брату мужику: жидка уж очень собой, в руки взять нечего.

— Ну, а раньше-то имел все-таки прилежание к ней?

— Опять дурак... «Прилежание»?! Тьфу!.. Мы как две цепных собаки у Ивана Антоныча сидели, вот и вышло прилежание, а как попали на волю, даже совестно стало обоим, потому какая же это музыка, чтобы барыня вязалась с мужиком.

Конца этого разговора я уже не слыхал, потому что под шумок заснул и все время видел какой-то безобразный сон: видел Ивана Антоныча, Харитинушку, разорившегося купца Аихряшева и т. д.

II

Перед самым утром пал маленький дождичек, и утренняя охота пропала. Я проснулся уже довольно поздно, когда Секрет орудовал для гостей самовар. Только что откупоренная бутылка водки свидетельствовала о том, что и Важенин и Секрет успели уже опохмелиться; около бутылки стояла деревянная тарелка с дымившимися блинами.

— Долгонько вы таки поспали, вашескородие... — говорил Секрет, обращаясь ко мне. — А мы тут, грешным делом, уж разгрызли по стаканчику.

Важенин молчал, придавленный еще вче-

рашним хмелем; глаза у него были совсем мутные, лицо красное. Он не чувствовал жарившего его голову солнечного луча, который пробивался меж березок. Это место под березками было замечательно хорошо: назади шапкой стояла «середовина», впереди расстилалось болото, окаймленное по бокам синевато-серыми увалами. Умытая росой и дождем зелень смотрела особенно весело, в «середовине» заливались даровые лесные певцы, в болоте слышался подозрительный шорох, заставлявший Бекаса вздрагивать и чутко нюхать воздух. Легкий ветерок проносился над осокой, шептался в березовой листве и пропадал сейчас же; по голубому небу плыла кучка белоснежных облаков, кругливших ся и надувшихся, как парус. Трава успела просохнуть, и воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной душицей, шалфеем, свежей сосновой смолой. Дневной зной усиливался с каждой минутой, и хотелось лежать неподвижно без конца. Налитые стаканы чаю стыли, и Секрет очень обижался этим обстоятельством.

— Вы давно охотитесь? — спросил я мол-

чавшего Важенина.

— Мы-то?.. Да так, пустым делом иногда побалуешься, — уклончиво ответил он. — Ружьишко вот попалось в третьем годе, почитай даром, ну, так вот и шатаешься с ним. В заклад принес его один мастерко, да в полуторых рублях и оставил. С даровщинкой-то оно и любопытно...

— Уж это ты верно, Евстрат Семеныч, — почтительно вторил Секрет, — на что лучше... Вот еще воровское, сказывают, хорошо тоже, особливо насчет собаки или птицы — первое дело.

— А ты пробовал? — иронически спрашивал Важенин.

— Бывало дело... Собачка была у меня, цетерок[250]. Не то чтобы настоящий цетерок, а так смяток. Ну, так я его упер еще щенком, и денег мне он много нажил. Умный такой издался, напрахтиковал я его — любо глядеть, как почнет орудовать по лесу али в болоте. Господа наедут, я его и пущу — всех ублаготворит, и сейчас его у меня покупать. Ну, я его и предал цалковых за десять, а он, цетерок-то, непременно убежит от нового хозяина и

опять ко мне. Раз пять с веревкой прибегал... Раз восемь я его эк-ту, пожалуй, продал.

— Вот это молодец! — похвалил Важенин.

— А то как же, Евстрат Семеныч? Надо же и мне жить, а господам что значит десять-то цалковых: тьфу — и только.

Этот рассказ очень понравился Важенину, и он повторял про себя: «Ловко... отлично!.. Вот так цетерок... Восемь раз, говоришь?» С одной стороны, его радовала непроходимая господская глупость, а с другой — ловкость Секрета приятно щекотала его собственные хватательные инстинкты: это был, очевидно, настоящий кулак, любивший всякую «дешевинку» даже в чужих руках, если особенно дело обделано «мастеровато», как в данном случае. Тип собственно заводского кулака только еще нарождается, и Важенин меня заинтересовал в этом отношении, тем более что в нем к специально кулацким чертам примешивалась еще лакейская крепостная закваска.

— Вы, собственно, чем же торгуете? — спрашивал я.

— А чем придется... больше по заводской части, что простому мастеровому надобно, —

харч, обуй, одежа, бакалеи.

— Выгодно?

— Да ничего... слава богу, жить можно помаленьку. Прежде-то на Пластунском народ зажиточнее был, так торговля хуже шла, потому богатый мужик все норовит в городу купить, в свое время, а у нас так брали — самые пустяки. А как теперь захудали все, к нам...

— Да ведь много торговых у вас в Пластунском?

— Ничего, на всех прохватит... С богатого не много возьмешь, а бедный у тебя весь в руках, потому он и муку аржаную фунтиками покупает. Примерно, пуд муки стоит восемь гривен, а фунтиками продаешь по три копеечки... И чай тоже и сахар. Вообще, который темный товар — большая от него прибыль.

— Какой темный товар?

— А на который цены не знает мужик... даже лучше не надо. Возьмите теперь сапоги или полушубки — на них не много наживешь, — потому цена им вся известная, а бакалея — темный товар, бумага и всякое прочее.

— Как же вы на охоту ходите от торговли?

— Да летом какая наша торговля: самое тихое время. Жена в лавке управится... А я больно вот места люблю, собственно за этим и хожу.

— Какие места?

— Ну, все места... весьма даже любопытно, потому как здесь совсем особенные места — угодные... В допрежние времена по этим местам сколько разного народу хоронилось, хоть взять из наших старообрядцев... Да вот хоть это самое болото: сколько скитов было поналажено по островам, доступу к ним нету, особливо летом. Ну, старцы и хоронились от начальства: где их в болоте-то найдешь...

— И нынче живут?

— Как не жить — и нынче живут, только далеко, а поблизости всех разорили.

— Да вон на моих глазах скиток сожгли, — заявил Секрет. — Отседова его видать было... вон там налево к увалам островок, так на нем и проживали старцы-то. Ну, зимой их и выследили лесообъездчики, да и выжгли... Попользовались, говорят, всемс и мукой, и медом, и воском, и деньгами. А лучше нет места, как ваши Боровки, Евстрат Семеныч: уж та-

кое место, такое место — на целую округу.

— Древнее место... — задумчиво ответил Важенин. — Еще этих заводов и званья не было, как отцы-то наши прибежали сюда с Выгу-реки. Много таких-то местов здесь... Может, одних угодников сколько спасалось, не говоря о других прочиих людях. Только нынче ослабел народ супротив стариков-то: куда!.. Измотались... малодушие везде...

— А мне ваши боровковские вот где сидят, Евстрат Семеныч, — проговорил Секрет, указывая на затылок, — такие охальники-страсть... Каждую зиму с емя смертно бьюсь за середовину. Больно уж меня донимают...

— Станешь донимать, когда есть нечего... Тоже не от добра лесоворничают. Взять хоть тех же Мяконьких... Вон каких четыре братана[251] чистят народ.

— Уж это что говорить: осетры... Болыпак-от Мишка, вон какой лоб, и проворен, окаянный, ну, и другие ничего — чистые ребята.

Кончив чай, Важенин и Секрет переглянулись между собой.

— Теперь самая пора... — проговорил Секрет, поднимаясь с земши, — залобуем дичины, Евстрат Семеныч, уж я тебе говорю. Она тоже время знает...

— Да какая в полдень дичь? — удивился я.

— А мы найдем, вашескородие... — ухмылялся Секрет. — Вы в город к вечеру али здесь заночуете?

— Нет, в город... Вот только жар спадет — и отправлюсь.

Обвесив себя лядунками и взяв ружья, Важенин и Секрет отправились на охоту, а я из-под березок, где начало сильно припекать солнце, перешел к самой избушке и улегся в тени. Власьевна обещала приготовить обед и накормить Бекаса. Около избушки на завалинке играли ребятишки Секрета, но в моем присутствии заметно стеснялись и все больше смотрели на собаку. Зной все увеличивался, так что становилось тяжело дышать, и я невольно пожалел Власьевну, которая должна была жариться у жарко натопленной печи. Это была бойкая городская мещанка, худая, как щепка, обладавшая способностью вечно быть не в духе; она походя тузила ребя-

тишек и жаловалась встречному и поперечному на свою горе-горькую участь, то есть на своего мужа, который только и знал, что жрать водку и т. д. Громыхая теперь ухватами, Власьевна несколько раз принималась причитать самым отчаянным образом, как причитают по покойнике. До меня без всякой логической связи доносились слова: «погубитель», «наплодил ребятишек, а сам только водку жрет», «ужо вот я тебе покажу, бесстыжие твои шары», «пропасти нет на вас, окаянных», «утямились»[252], «прорвы этакие», «беспременно я утешу» и т. д.

— Кого это ты, Власьевна, бранишь? — спросил я, когда обед был готов и подан прямо на траву.

— Известно, кого... одна у меня винная-то капля!.. — каким-то пришибленным голосом заговорила она, отмахиваясь рукой. — Жисти я своей не рада, барин, вот те Христос, потому для кого я маюсь здесь, в лесу-то?.. Вон он, Секрет-от, какой у меня: склался, только его и видел... И везде-то у него дружки да приятели, и везде он свою водку найдет. Теперь дни на три закатились с Важениным...

— А Важенин часто бывает у вас?

— Заходит по-времю, когда водкой зашибет... Запой у него, вот он и бредет в лес. Пил бы у себя дома, а то нет, в середовину надо, моего Секрета спаивает только... Я ведь их обоих наскрозь вижу, барин, даром что хитры. Вот что... «Мы-ста на охоту...» Тьфу!.. Знаем мы ихнюю-то охоту!.. Ужо вот Мяконькие-то наломят им> бока-то. костей не соберут... Ты думаешь, куда они пошли, охаверники?

— Не знаю...

— Да в Боровки... всё туда шляются. Там у братанов Мяконьких сестра есть, Ульяной звать, так вот Евстрат-то Семеныч и увязался за ей... И девка только: высокая, белая, ядреная, на речах бойкая. Евстрат-то Семеныч вон какой бык — ему и любопытно такую девку оммануть... Вот и шатаются с Секретом, чтоб Секрет помогал. Тьфу... рассказывать-то про них тошнехонько! Мяконькие-то уж пообещали Евстрату Семенычу шею сломать, так он и подсылает Секрета: придут к Боровкам, Евстрат Семеныч в лесу спрячется, а Секрет и подсылает Ульяну за грибами или за ягодами

идти. Только не та девка... Она и то одинова так отдубасила моего-то Секрета — взяла палку, да палкой и давай его обихаживать, только стружки летят. Одним словом, могутная девка, где же она им живая-то в руки отдастся... ни в жисть!..

— Откуда ты это все узнала-то? — сомневался я.

— Да сам-то Секрет все пьяный и рассказывает, а как прочухается — в отпор... Ох, и жисть только моя, не приведи никому, истинный Христос!.. Подумаешь с подушечкой об этаком! угаре, как мой-от, а ребятишки-то вот они... Секрет-от мой хоша и ослабел насчет водки, а ведь он прост, вот я и боюсь, кабы ему где башку не отвернули.

Местность между «середовиной», деревушкой Боровками и Пластунским заводом действительно в прежние времена представляла самую удобную почву для людей «древлего благочестия», хоронившихся здесь от никонианских властодержцев и «духоборного суда». Но уральские заводы быстро выжгли все леса кругом и загнали раскольничьих старцев в непроходимые болотные места, дебри и раме-

нья, но и отсюда их выкурили, как выкуривают из нор и «язвин» разное зверье. Все это, без сомнения, было очень печально и еще более несправедливо, но печальнее были такие галантерейные фрукты, как Важенин... Воспоминания о несчастной Харитине, искреннее сожаление, что не удалось попасть в число разорителей Михряшева, торговля темным товаром и этот удивительный расчет высасывания последних грошей из заводской голытьбы — все это отлично говорило за себя и совершенно логически заканчивалось запоем и дикой травлей «могутной» Ульяны Мяконькой.

С охоты я вернулся уже поздно вечером. Над городом N*. висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката.

После картины леса глухой уездный город, с его пылью, пьянством и чем-то таким усталым и щемящим душу, всегда кажется какой-то помойной ямой, в которой несчастные обыватели копошатся, как черви!

III

Года через два мне случилось ехать через Пластунский завод. Стояла глубокая зима, до-

рога была адская — бесконечные ухабы, снежные переметы, — одним словом, все прелести зимнего путешествия по совершенно открытой местности, предоставленной в жертву всем четырем ветрам. Округ Пластунских заводов в Среднем Урале, кажется, единственный по варварскому истреблению лесов на громаднейшей площади в семьсот тысяч десятин, — везде на Урале леса истребляются напропалую, но пластунская дача стоит, без «мнения, на первом месте.

Подъезжая к Пластунскому заводу поздно вечером, когда везде уже в окнах горели огни, я вспомнил про Важенина и велел ямщику ехать к нему, потому что, с одной стороны, не хотелось провести ночь где-нибудь на постоялом дворе, а с другой — меня заинтересовал этот типичный заводский кулак. Пластунский завод-один из самых старинных заводов и залег своими кривыми улицами в глубокой горной лощине, точно спасаясь от разгуливавшего по окружающим пустыням) северо-восточного ветра. Найти дом Важенина нам было легко, потому что его лавочку нам сейчас же указал. Мы подъехали к двухэтаж-

ному деревянному домику в три окна — лавка помещалась в нижнем этаже, а вверху было хозяйское жилье. Я послал ямацика спросить, не пустят ли переночевать, и получил утвердительный ответ, хотя предварительно был произведен самый подробный допрос: кто, куда и зачем, как обыкновенно делается в таких случаях.

Только тот, кому случалось по целым дням ехать в тридцатиградусный мороз, когда весь точно оледенеешь и когда от холода больно пошевелиться[253], — только тот поймет то удовольствие, с каким входишь в жарко натопленную избу. Самого Важенина не было дома, а меня встретила старуха, его мать, повязанная широким теплым платком по-раскольничьи, то есть с распущенными по спине двумя углами платка.

— Где Евстрат-то Семеныч? — спрашивал я, с трудом вылезая из двух стоявших коробом шуб.

— Да в волость ушел, родимый, в волость... — ответила высокая, еще крепкая — старуха, пытливо разглядывая меня большими серыми глазами. — Ужо, поди, скоро воро-

тится, давно уж ушел.

Я извинился, что потревожил их своим визитом, и объяснил причины, почему это сделал. Старуха выслушала меня как-то недоверчиво и, вероятно, из вежливости прибавила:

— Как быть-то, родимой, потеснимся как ни на есть, а то кому охота по постоялым трепаться... Городской будешь?

Получив утвердительный ответ, старуха вышла похлопотать насчет самовара.

Дом Важенина хотя и был в два этажа, но внутри был устроен как крестьянская изба: передняя половина, широкие сени и задняя изба. Передняя деревянной крашеной перегородкой делилась на две комнаты — прямо из дверей приемная, гостиная и все, что угодно, а за перегородкой крошечная кухня. Прямо у дверей стояла широкая двуспальная кровать, завешенная ситцевым пестрым пологом; деревянные нештукатуренные стены были обиты дешевенькими обоями, около стен шли широкие, крашенные синей краской лавки, в углу большой зеленый киот с врезанными в дерево старинными медными складнями и осьмиконечным раскольничьим крестом. У

перегородки деревянный шкаф с чайной посудой, под образами крашенный желтой краской стол, на полу тряпичные половики домашнего тканья, на стене знакомое уже мне ружье-дешевка с лядунками, рядом» с киотом небольшая укладка с книгами, ладаном и восковыми свечами, как это бывает во всех раскольничьих домах. Меня удивило только то, что в этой укладке, вместе с псалтырем и часовником, были поставлены с пестро раскрашенным обрезом судебные уставы и еще какие-то «законы», судя по формату, все анисимювских изданий[254].

— Это кто же у вас по части законов? — спросил я, когда в комнату вошла с чайной посудой жена Важенина, немолодая, какая-то опухшая женщина с засыпанным веснушками лицом.

— Да это Евстрат Семеныч в городу накупил... — нехотя ответила она, расставляя посуду на железном чайном подносе. — Да вот он и сам идет.

Из сеней в облаке хлынувшего пара действительно показался сам Важенин в дубленом полушубке и мерлушчатой шапке; раз-

девшись, он положил три поклона на киот и грузно подсел к столу. Завязался обыкновенный в таких случаях разговор: давно ли из города, какова дорога, нет ли каких новостей в газетах и т. д. Таким образом, мы сидели за кипевшим самоваром до седьмого пота, калякая о разных житейских разностях. Со мной была бутылка коньяку, и я предложил дорожный стаканчик Важенину, но он как-то конфузливо махнул рукой и проговорил:

— Трекнулся.[255]

— Давно ли?

— Да вот второй год пошел на святках... Ну ее, эту водку!.. Когда это я вас у Секрета-то видел? Никак года два с залишком будет!.. Так. Как раз после Ильина дни я тогда в середовине был... После того еще с полгода занимался этой слабостью, а потом — шабаш!..

— Что так: немножко-то можно, особенно с устатку или с мороза?

— Нет, уж кончено... Хворал я, так зарок дал. Да и то сказать — неподходящее совсем дело.

Мой вопрос, очевидно, задел «трекнувшегося» человека за живое, и он принужденно

замолчал. Самовар потух и только изредка выпускал одну длинную ноту, обрывавшуюся, как туго натянутая нитка; мороз заметно крепчал, заставляя трещать даже старые бревна. По улицам мела жестокая метель, и ветер несколько раз принимался с каким-то стоном завывать в трубе, точно он жаловался, что никак не мог ворваться в этот теплый дом, где все было поставлено так крепко, как умеют ставить только кулаки и сшибай, когда заберут в себя силу. Важенин сидел у стола и задумчиво барабанил пальцами; он заметно похудел и как-то осунулся, в темных волосах серебрилась седина, вообще выглядел обстоятельным, настоящим торгашом. Чтобы поддержать оборвавшийся разговор, я спросил, как идет торговля.

— А что нашей торговле сделается, — неохотно ответил Важенин, встряхивая волосами. — Народ кругом бедует, а нам это на руку... На заводе-то сокращают работу, всё машины ставят, ну, народу большое от этого утеснение, и деваться некуда. То же вот и по деревням: прежде дрова рубили, уголье жгли, металл возили, а нынче тоже сократили и

их...

— Чем же теперь занимаются рабочие, которые остались без дела?

— Разным: кто на приисках старается, кто по лесоворной части, кто так по домашности шишлится... Тесное житьишко подходит, что говорить: всем одна петля-то. Ежели бы еще землей наделили мужичков, так оно бы другой разговор совсем, а то не у чего биться совсем. Обижают землей народ по заводам; всем крестьянам наделы даны, а только одних мастеровых не могут наделить... Двадцать лет как уставные грамоты подписали, а надела все нет — это уж не порядок: ни пашни, ни лесу, ни покосу-все от завода, ежели робишь на фабрике. За каждую жердь попенные взыскивают, пашни отбирают. Ну, заводские еще, худо ли, хорошо ли, около фабрики околачиваются, а взять, к примеру, Боровки — и работы нет, и угодья никакого не дают.

— Что же, хлопочут ваши общественники или нет?

— Как не хлопотать-теперь лет уж пятнадцать стараются, да все толку нет. Да и то ска-

зать: глуп народ-то, прямо сказать — от пня, ну, а там господа всем ворочают. Вон к нам нонче немцев нагнали — везде немец... А все-таки помаленьку хлопочем. Теперь обчество меня ходоком выбрало по этим делам... так уж я хочу, чтобы все по закону утрафить. Закон один для всех, ну, и нам давай по закону, как в прочиех местах. Это прежде темнота была, а ноне закон... Я теперь третий год законы-то почитываю, так там все обсказано, а дело наше со-, всем правое.

Важенин достал из сундука целую кипу разных деловых бумаг и принялся объяснять обстоятельства своего дела, которое являлось в таких сбивчивых и запутанных подробностях, что на первый раз просто голова шла кругом: какие-то памятные записи, копии с грамот и указов, окладные листы, приговоры сельских обществ, сенатские решения, постановления и отзывы по крестьянским делам присутствия — словом, непроходимый дремучий лес всевозможной канцелярщины, и нужно было иметь такую слепую веру в закон, как у Важенина, чтобы надеяться выйти целу и невредиму из этой отчаянной путани-

цы. Я долю перебирал все эти документы и бумаги всевозможного формата, цвета и почерков, точно это была куча осеннего листа, сбитого с всевозможных пород деревьев, но, чтобы разобраться в этой куче, нужно было, во-первых, специальное знание, а во-вторых, — массу свободного времени, и, в-третьих, — беззаветное желание «послужить миру».

— Вы, конечно, обращались к члену уездного по крестьянским делам присутствия? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Было и это-с... Член-то говорит, чтобы обождать, — потому будут межевать, так тогда уж все обозначится, а мы до этого межеванья перемрем, как мухи. Шибко меня уговаривал член-то, ну, как я его припер законом — он только рукой махнул... Даже весьма не советовал, ежели беспокоить высшее начальство, а я ему закон представлял. Это, видите ли, о заводских мастеровых одно дело, а о деревне Боровках другое... Я уж заодно хлопочу об них. Боровки совсем) на особицу пошли — потому как они были основаны раньше Пластунского завода, — значит, и земля у

них своя, а не заводская. Я ведь сам из Боровков и знаю это дело... Первые-то насельники пришли в Боровки в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году, когда Пластунского завода и званья не было, ну, и заняли всю землю, значит, земля ихняя. Все с Выгу-реки пришли в Боровки, ну, и пашни пахали, и росчисти делали, и покосы, и всякое прочее крестьянское обзаведенье. И после настоящими крепостными они не были, а только приписаны к Пластунскому заводу в работу, да и земля-то у Пластунского завода посессионная... Вот оно, какая штука получается!..

Напав на тему, мы разговорились — предо мной был совсем другой человек, точно недавний кулак вышел куда-нибудь в другую комнату. Собственно, выражался Важенин довольно темно и постоянно путался в мудреной юридической терминологии, но по всему было заметно, что это был глубоко, убежденный человек, проникнутый сознанием своей идеи. За разговором время пробежало совершенно незаметно, и старушка мать подала ужин; она, видимо, прислушивалась к нашему разговору и все вздыхала.

— Вот и мамыньку спросите про Боровки, она отлично знает это дело, — заметил Важенин.

— Как не знать: известно, наша земля... — ответила спокойно «мамынька», степенно оправляя ситцевый длинный передник; она была в косоклинном раскольничьем сарафане с глухими проймами и в белой холщовой рубашке с длинными рукавами. — Все это знают, родимый, только оно сумнительно очень... насчет то есть начальства...

— Ну, это пустяки, мамынька. Мало ли что в прежние времена было, — тогда темнота одна была, а нынче — другое, нынче везде закон, мамынька.

— Закон-то закон, милушка, да вот и покойный родитель... так в заточении и помер, сердешный. Все правды искал тоже... Двенадцать лет в остроге высидел.

Старушка вытерла передником показавшиеся на глазах мелкие старческие слезинки и тяжело вздохнула.

— Ах, какая ты, мамынька!.. — недовольным тоном заметил Важенин и нахмурился... — Покойный родитель был не глупее нас

с тобой...

— Да я, милушка, ничего не говорю... — торопливо оправдывалась старушка, стараясь принять спокойный вид. — Только будто к слову пришлось...

Только распухшая жена Важенина, державшая себя на городской манер, очевидно, была недовольна затеями мужа и не принимала в разговоре никакого участия.

— Я уж наладила там в задней избе гостеньку-то все... — проговорила старушка, когда мы кончили ужин. — Здесь-то негде, так я уж в задней избе.

Задняя изба, только что отделанная в качестве парадной половины, была совсем по-городски: на полу тюменские ковры, триповый диван с десертным столом, венские стулья, два зеркала в простенках, плохие олеографии в золоченых рамах, кисейные занавески на окнах — словом, все было устроено форменно. Постель была мне сделана на полу, около «галанской» печи с герметической заслонкой.

— Уж не обессудь на нашей простоте, — извинялась старушка, провожая меня в заднюю избу, — чем богаты...

— Да не беспокойтесь, бабушка... Все отлично. Благодарю...

— Как не беспокоиться-то... Ох-хо-хо!.. — вздыхала старушка, еще раз взбивая подушки и, очевидно, желая что-то высказать. — Вот что, родимый ты мой, скажи ты мне ради истинного Христа: засадят Евстратушку-то в острог... а?

— Зачем засадят, бабушка?

— Да вот за закон-то за его... Отец-то ведь тоже о земле хлопотал, да так и кончился в остроге, ну, и Евстратушка как бы туда же не угодил. Вон как он разговаривает... Все жил ничего, все ничего, торговлишку справил, обзавелся, а тут накося — всему попустился. И в кого это он уродился такой-то?

— Вероятно, в отца, бабушка?

— Так, верно, родимый, в отца и евть... Ох, чажало эта родительскому сердцу!.. Уговаривали — пытались, так куда — приступу нет. Жена-то в ногах валялась... Отец-то, Семен-то Евстратыч, такой же вот был неуговор: наладит, что хошь расколись для него тут. Все за Боровки тогда хлопотал, об земле об этой, ну, его в острог-так и сидел по смерть по самую,

а не покорился. Строго прежде-то было, при Иване еще Антоныче: уж он драл-драл Семена-то Евстратыча, голубчика, а ничего выбить не мог. Евстратушка-то, видно, в родителя изгадал... Не взыщи ты на мне, на старухе, за глупый мой разговор: все ведь сердечушко издрожалось.

Я постарался успокоить горевавшую старуху, как умел, и она ушла, охая и причитая об ухватившемся за закон Евстратушке. Заснуть я долго не мог: в комнате было жарко даже на полу, за обоями шуршали тараканы, слышно было, как сам хозяин несколько раз входил и выходил из избы, вероятно задавать корму скотине; метель не унималась и продолжала завывать в трубе, нагоняя тоску.

Это неожиданное превращение Важенина из кулака в человека, решившегося «послужить миру», являлось одним из тех диссонансов, которые в общем житейском омуте както идут вразрез решительно со веер и служат почти неразрешимой загадкой. Откуда? как? почему? С одной стороны, подарки Харитинушки, расчеты на темный товар и общую бедность, чистосердечные сожаления о про-

пущенном случае принять участие в разорении купца Михряшева, а с другой — желание постоять за мир и принесение в жертву этому желанию туго сколоченного, копейка за копейкой, благосостояния. Все это было непримиримым противоречием, и негде было искать того переходного критического момента, который должен был существовать. Даже прецедент в виде сгнившего в остроге родителя, Семена Евстратыча, по общечеловеческой логике не мог служить особенно побудительной причиной повторить ту же историю вторым изданием, хотя, конечно, знаменитого Ивана Антоныча давно уже не было на свете, и прежняя крепостная темнота сменилась новыми порядками. Вся эта история казалась такой невероятной, что я даже усомнился в искренности намерений Важенина и с этой мыслью уснул в его кулацком гнезде, уснащенном и венской «небелью», и «зеркалом», и разной другой благодатью, наверно купленной по случаю в полцены.

Пластунские заводы представляют интересную страничку в истории Урала. Первый, так называемый Старый завод основан был

на реке Пластунье в половине восемнадцатого века, когда на Урале заводы росли, как грибы, десятками. Место под заводы было выбрано чрезвычайно удачно: богатые руды, дремучие леса, несколько горных рек, удобных для запруды, — все условия точно нарочно сгруппировались в интересах вящего развития заводского дела. И действительно, новые заводы пошли бойко в ход и стали приносить своему основателю миллионные дивиденды. Этот первый заводчик, по фамилии Кученков, выбился в большие люди из полной неизвестности и целую жизнь работал за четверых. Впрочем, приблизительно такова история возникновения почти всех уральских горных заводов, за исключением) казенных, где были свои порядки. Как все первые уральские заводчики, Кученков обладал самой завидной энергией, хорошо понимал свои интересы и специально заводскую часть и, как все первые уральские заводчики, не церемонился с рабочими, а в случае ослушания расправлялся с ними зверски.

Кученков, в смысле типичности, был замечательный человек: ходил в полушубке и в

валенках, с завода на завод переезжал часто с «обратьними» ямщиками, вообще жил крайне просто и только любил щегольнуть перед начальством. Наследники Кученкова начали с того, что разделились: один взял заводы, другому выделили часть деньгами, третий получал известный дивиденд и не вступался ни в какие дела. Все трое жили или в Петербурге, или за границей, безобразничая напропалую. Внук Кученкова, к которому перешли заводы, получил воспитание в Париже, под влиянием какого-то иезуита, и до конца своей жизни не мог научиться говорить правильно по-русски, хотя жил набобом и уронил заводы окончательно, опутав их неоплатными долгами. Никакое крепостное право и никакие Иваны Антонычи не могли спасти падавших заводов, и они сейчас после воли за казенные долги перешли в опекунское управление, где всем делом верховодила сплоченная кучка горных инженеров. Эти опекуны повели дела чрезвычайно ловко и в видах «усиления заводского действия» разными «хозяйственными способами» увеличили казенный долг вдвое, так что в конце концов Пластунские

заводы пошли с молотка и достались какой-то сильной иностранной компании.

Владычество новой компании началось с того, что на смену старых доморощенных управителей и служащих была выслана настоящая армия «немцев» и заведен был в делах чисто немецкий бесконечный порядок. На одном Пластунском заводе было восемьдесят человек служащих, из которых шестьдесят пять были «немцы», а пятнадцать из старых заводских служащих.

Конечно, эти немцы разобрали самые лучшие места: главный управляющий Фридрих Баз (Секрет называл его «Бац») получал двадцать пять тысяч годового жалованья, за ним следовал помощник главного управляющего Копачинский, заводской управитель Бадер, заведывающий канцелярией Берх, главный бухгалтер Баль, начальник контроля Банг, заведывающий хозяйственным отделением Барч, главный лесничий Бартельс, инженер по разным поручениям Адельсон, главный врач Абрагамсон, главный кассир Аншельзон, и т. д., и т. д. Русские фамилии жались на самых последних ступеньках этой канцеляр-

ской лестницы — писцами, дозорными, запащиками и тому подобной мелкой сошкой, даже не имевшей подчас названия своей должности, — так она была мелка и ничтожна. Заведение такого образцового порядка являлось только одной стороной дела, за которой непосредственно выступала вторая, правда, логически связанная с первой, — это целая система хозяйственных сокращений и урезок в мелочах, в маленьких должностях и особенно на рабочих. Была введена артистически выработанная система вычетов и штрафов, подробные правила, как ходить и дышать, и этот аптекарский способ экономии на первых же порах дал самый блестящий результат.

Рабочие, прижатые всевозможными правилами к стене, скоро поняли, в какую попали западню, и протестом! с их стороны послужил так называемый «книжечный бунт». Новая администрация завела расчетные книжки, и вот эти книжки послужили яблоком раздора, потому что какие-то темные личности заказали накрепко не брать этих книжек ни под каким видом.: кто возьмет такую книжку — превратится опять в заводского

крепостного. Свои начетчики и грамотеи указывали на заводскую печать на книжках, как на «антихристов знак», — одним словом, разыгралась самая печальная история, потребовавшая даже приостановки на некоторое время заводского действия. Все это происходило в таких смешных формах, что призванная к содействию власть не нашла никакой возможности прибегнуть к энергичным мерам, практикуемым в таких случаях. Когда улеглось первое волнение, дело уладилось само собой, и книжки пошли в ход, хотя старухи раскольницы пророчили малодушествовавшим рабочим, по меньшей мере, геенну огненную. Конечно, со стороны этот «книжечный бунт» кажется только смешным, но он имел за себя очень веские основания: кабала явилась, хотя и не со стороны «антихристова знака». Меня особенно удивляла та единодушная ненависть, с какой пластунские обыватели относились к новой немецкой администрации: это было тем более удивительно, что эти же самые обыватели относились почти без ненависти к зверствам какого-нибудь Ивана Антоныча, поровшего рабочих прямо

насмерть.

Даже такой независимый человек, как Важенин, и тот чуть не оправдывал зверства вечно улыбавшегося крепостного управителя.

— Помилуйте, тогда кругом темнота была, — объяснял Важенин, встряхивая волосами. — Разве бы Иван Антоныч стал зверствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На других-то заводах не лучше нашего было. А все потому, что с управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и драл Иван Антоныч... тоже ему не свою спину было подставлять за нашего брата. А нынче совсем другое дело: господам закон и нам закон... да. Им ихнее, а нам наше... Конечно, немцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили так: «Клоп клопа ест, последний сам себя съест».

В этой запутанной и перепутанной истории было замечательно особенно то, каким способом, при расстроенных заводских делах, получались сравнительно высокие доходы. Секрет, как все великие открытия, был очень прост: заводская администрация не делала никаких нововведений, не заводила ничего,

что пахло большими издержками, и даже на ремонт списывала самые незначительные суммы и благодаря такому хозяйству возвышала доход. Кроме печей Сименса и горячего дутья, не было капитальных усовершенствований, да и эти новинки были устроены только ввиду самой настоятельной и вопиющей нужды в древесном топливе, на котором исключительно работают все уральские заводы. Собственно, эта система практикуется и на других заводах, и было уже несколько примеров полного краха целых заводских округов, но разорившие таким образом заводы главные управляющие получили свои десятки тысяч — «что и требовалось доказать», как говорится в учебниках математики. Роковым вопросом, conditio sine qua non[256] для всех уральских заводов является переход с древесного топлива на каменный уголь, но все заводы тянутся из последнего, чтобы хотя на неделю отсрочить неизбежное решение этого вопроса, потому что такой переход потребует сразу громадных затрат на приспособление всех огнедействующих заведений к употреблению каменного угля, а это неизбежно отра-

зится на количестве получаемого дохода с заводов, — какой же управляющий решится не только взять на свою ответственность подобный риск, но даже просто посоветовать владельцу. Это было бы двойным самоубийством: лишить заводовладельцев их доходов и, главное, лишить самих себя министерских окладов. Остается только идти вперед до последнего полена дров, что и практикуется всеми заводчиками в одинаковой мере.

Таким образом, вопрос о лесе является в уральском горнозаводском хозяйстве самым больным местом: заводы увеличивают свою производительность, параллельно идет уменьшение лесных дач, и впереди полный крах. Но упорное нежелание переходить на минеральное топливо имеет еще и другую сторону: все заводчики вопиют о недостатке лесов, и поэтому замедляется надел заводского населения землей, потому что такой надел Должен ipso facto[257] уменьшить лесные дачи. Этим путем аграрный вопрос на Урале получил совершенно особенные Осложнения и в недалеком будущем должен повести к очень печальным недоразумениям. Труд-

ность размежевания увеличивается еще и тем обстоятельством, что, кроме частных и казенных земель, сотни квадратных верст принадлежат своим владельцам на посессионном праве, которое само по себе является почти неразрешимой юридической загадкой. Пластунские заводы в этом случае были не лучше и не хуже других посессионных заводов, хотя и с некоторым специальным «букетом» в виде «сплошного немца», как выражался Секрет.

IV

На другой день утром, когда я пил чай в задней избе, туда вошел Важенин, огляделся, припер дверь поплотнее и присел к моему столу с видом человека, который желает что-то сказать, но не решается.

— Погодка-то как будто успокоилась... — тянул он, заглядывая в окошко. — Вот все я собираюсь как-нибудь внутренные ставешки наладить, железные... Очень даже это способно по нашему делу, а то неровен час — пошаливают у нас на Пластунском: недавно четверых зарезали. Вот этак же во втором этаже: намазали медом лист бумаги, прилепили к

стеклу, выдавили и в лучшем виде залезли...

Поговорив о разных пустяках и еще раз оглянувшись кругом, Важенин достал из кармана своего длиннополого сюртука вчетверо сложенный лист и, развернув его, подал мне. Бумага начиналась стереотипной фразой: «Во имя отца и сына и святого духа. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я при живности своей» и т. д. Это было форменное духовное завещание, составленное Важениным на имя жены Платониды Васильевны, причем он отказывал ей все движимое и недвижимое, с условием, чтобы она по смерть «воспитывала» старушку свекровь, оказывала ей «всякую покорность и почтение». Завещание было подписано тремя душеприказчиками.

— Все форменно? — шепотом спрашивал Важенин, оглядываясь на двери. — Ежели в случае, например, меня сцапали бы, как родителя... Не отберут от жены-то дом и лавку?

— Да зачем вас сцапают?

— Ну, так, я это к примеру только... Форменно все?

— Нет, не совсем форменно... Это духовное завещание составлено домашним образом и

может всегда возбудить спор со стороны родственников, племянников, например, а чтобы окончательно обеспечить себя — вы засвидетельствуйте это же завещание у городского нотариуса.

— И тогда уже форменно будет? То есть ни под каким видом, чтобы племянники... как вон Харитину пустили по миру?

— Да вы напрасно беспокоитесь, Евстрат Семеныч: никакой опасности нет.

— Уже вы, пожалуйста, не говорите такие слова, — шепотом отвечал Важенин, придвигаясь ко мне ближе. — Были уж такие случаи-то... Ей-богу! На ...ских заводах этак же мужичок вздумал хлопотать насчет земли, ну, его сцапали, да и выслали административным порядком тысячи за две верст. Это как? Все под богом ходим... Меня-то высылай, да только жену, да вот мамыньку не тронь. Про себя-то я уж порешил... Будет уж мне... да.

— Чаю не хотите ли?

— Благодарствуйте, я уж напился... По-деревенски рано встаем, да и сну у меня нынче настоящего не стало! Вертишься-вертишься ночь-то.

— Вероятно, нездоровы?

— Нет, ничего, слава богу, не могу пожаловаться, а так... от мыслей. Раздумаешься да раздумаешься...

— Послушайте, Евстрат Семеныч, меня удивляет, как это вы так вдруг... переменились?

Важенин внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Да и сам я дивлюсь... — ответил он после короткой паузы. — Так уж, видно, кому что на роду написано. Видите ли, случай тут был... Долго, пожалуй, рассказывать-то.

Для безопасности Важенин припер дверь на крюк, подсел опять к столу и заговорил:

— Помните, тогда встретились в середовине-то у Секрета? Пировал я тогда до неистовства... страсть пировал. Ну, известно — мужик могутный из себя, недели две без просыпу закачиваешь. А охота, это уж другое... Оно одно к одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то, чай, слыхали? Мы с Секретом будто на охоту уйдем, а сами в Боровки и закатимся. Есть там четыре братана Мяконьких, а у них есть сестра Ульяна... Только и семейка:

здоровенные все, могутные, красавцы, а всех лучше эта самая Ульяна. Мы ведь тоже из Боровков, и я эту самую Ульяну махонькой еще знал, а как выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, одним словом, богатырь-девка.

И на речах при этом очень бойка, да и веселая-развеселая — только слушай... Ну, и запади эта самая Ульяна мне в башку: думаю об ней день и ночь, и шабаш. По душе пришлась... Ну, уж я около Ульяны и так и этак — ничего не берет. На заводах-то у нас балованный народ, и насчет женского полу даже весьма свободно, а тут не дается девка в руки, и меня уж озарки взяли, себя не помню, как другой бык, например. Здоров я был, ну, кровь-то как заходила — смерть... Уж я гонял-гонял Секрета с гостинцами и с подарками — толку все мало: возьмет, поблагодарит, а настоящего дела нет. Все мне хотелось Ульяну в лесу где-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдет, — так нет, дошлая, шельма, не идет в лес. Кружили мы таким! манером, кружили с Секретом, дело хоть брось. Зима наступила, слышу — сватают Ульяну... После

рождества свадьба. Меня это из ума вышибло: будет моя Ульяна... Подослал к ней Секрета выспросить, а Ульяна и говорит ему: «Кланяйся Евстрату Семенычу... люб он мне, да не умел взять девку, а теперь братаны замуж отдают». Запировал я пуще прежнего, а тут и святки на носу... Ну, и укололи мы с Секретом штуку!.. Тоже придумали: напоим, мол, всех четырех братанов и Ульяну выкрадем. Ей-богу... чистое зверье какое-нибудь, такое рассуждение имели. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая — невеличка из себя, а так бегала, так бегала — стрела, а не лошадь. Ну, этого бегунчика заложили в кошовку, поставили ведро водки и сейчас в Боровки, к Мяконьким... Они по лесоворной части, и я прикинулся, что сруб мне надо поставить. Давай мы пировать в избе у Мяконьких — праздничное дело... А Ульяна тут же в избе вертится и будто сном дела не знает. Ну, удовлетворили мы братанов так, что ухом по земле. Выхожу я в сени, свистнул Секрета, а он мне и говорит: «Ульяшка-то убежала...» — «Куда?» — «Да куда, говорит, ей убежать, здесь где-нибудь в деревне же, не ве-

лико место». Отправились мы искать ее и, точно, на вечорке нашли в одной избе, и как была в одном сарафане, так мы ее и заполучили, завязали рот платком да в кошовку: трогай в середовину... Секрет на козлах, а я снял с себя шубу и в шубу завернул Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потом присмирела и сидит вроде как деревянная. Ну, а там, в Боровках-то, все на ноги, сказали братанам, те кое-как прочухались и сейчас на лошадей: два брата по дороге в Пластунский завод погнали, а двое в середовину к Секрету. Место тоже не близкое, едем мы и слышим, что за нами погоня, а у Мяконьких кони первые по деревне — потому по лесоворной части это первое дело. Тут уж и моя Ульяна всполыхнулась: «Ох, убьют тебя братаны... дай. я лучше убегу в лес, тогда им нечего с вас взять». — «Куда ты, говорю, дура, в лес пойдешь, когда везде снег по пояс... Оборонимся, говорю, да и середовина недалеко...» Совестно тоже загородиться девкой-то: наша вина — наш и ответ. А погоня все ближе... Видим, наша лошадка из сил выступает, тоже трое нас, чертей, — добрый воз. Не доехали мы до сере-

довины будет — не будет с версту, как братаны Мяконькие налетели на нас... Ну, повернули мы лошадь поперек дороги, у меня с собой оборонка была маленькая, леварверт-кулачок, шестицволый, значит — и пошла свалка. Нагнали нас двое братанов: большак Мишка и середняк Прошка — и приняли нас в стяги... [258] Выпалил я разика два, а потом как царапнули меня стягом по плечу — кулачок вылетел... Ну и били они нас — страсть!.. Сначала все стягами, а потом по дороге за волосы да топтать... Здоровенный народ, чисто два медведя из берлоги вырвались. Помню только, как перво меня полыхнули стягом по правому плечу, а потом по крыльцам. Так замертво нас бросили в кошовку, понужнули лошадь, ну, она нас и предоставила прямо к Секретовой сторожке, — потому дело знакомое. Ну, очнулся я у Секрета в избушке и не думал, что жив останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа, как чугунный котел. И Секрет тоже в лучшем виде... Одним словом сказать, братаны Мяконькие чистенько свое дело сделали...

Важенин перевел дух, встряхнул волосами

и даже засмеялся, вероятно от удовольствия, что братаны Мяконькие очень уж «чистенько» поучили его с Секретом.

— Ну, привезла меня Власьевна прямо к жене: «на, получай любезного супруга», и, натурально, все дело ей начистоту выложила... Мамынька ревет, жена ревет, а я лежу и пальцем пошевелить не могу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядел-поглядел он на меня и только головой покачал: «Ловко, говорит, устряпали... это, говорит, не человек, а котлетка». Ей-богу, так и сказал... Не стал и лечить, все равно, говорит, помрет; ну, так мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня... Уж и принял я только муки от этой старухи: в баню да в баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облепила, да поит какой-то такой дрянью, что с души воротит. Ну, известно, дело смиренное мое было: что хотят, то и делают — ихняя воля вполне, потому как я ни рукой, ни ногой, все равно. И ведь отлежался... три месяца вылежал, а все-таки стал на ноги. Ну, шея с год не ворочалась, а потом ничего, отлежался, только вот к

ненастью каждая косточка ломит да ноет. Нарошно после сходил к этому самому Абрагамсону и отрекомендовался в полной форме, так он только ахнул: «Ну, говорит, вы, подлецы, из котельного железа, надо полагать, сделаны... Поглядел бы, говорит, ты на себя-то, в каком ты, например, образе был: весь под один пузырь и при этом чернее опойка... Кто это тебя так уважил?» — «Есть, говорю, ваше благородие, добрых-то людей...»

Важенин опять засмеялся и прибавил:

— Секрет скорее мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался и внутрь принимал... Ему все-таки меньше моего досталось, потому он только так, под руку подвернулся. Потом меня проведовать приходил, пес, да моя жена его в три шеи... известно, женская часть, тоже обидно...

— Ну-с, так вот, например, когда я лежал, все мне проволоки представлялись, — продолжал Важенин после небольшой передышки. — И не то чтобы настоящие проволоки, а вроде как мысли у меня в голове проволоками тянулись... Ей-богу! Лежу я в собственном доме, на своей кровати, ходит за мной моя

собственная жена, и я слышу, как она вздыхает... Должон был я восчувствовать себя подлецом али нет? Даже очень восчувствовал: не только подлец, но и душегуб... Еще господь сохранил, а то бы прощай, Ульяна. Вот до чего дошло!.. И стал я думать, стал думать. Как-то этак забылся немножко, открыл глаз, а она стоит передо мной...

— Ульяна?

— Нет, Харитина Петровна... значит, жена Ивана-то Антоныча, у них я в казачках состоял. И с чего приснилось, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семен Евстратыч, стоит... Вот как сейчас я их вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замуж вышла, смотрит это на меня таково жалостливо и головкой качает, а родитель глядит куда-то вбок, потому совестно ему за меня, так надо полагать. Постояли и ушли — только и всего... Ну, тут-то я и понял, зачем ко мне родитель-то приходил. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую кровь. Все мне так ясно сделалось вдруг... Как я жил-то до этого случая? Какие у меня мысли были в голове? Обмануть, да пировать, да за девками

гоняться, да из-за этих же девок чуть смертного часа не получил. Ведь это что же такое, если разобрать: родитель-то живот свой положил за правду, а я душегубством занялся. Наколотил всяким обманом копейку, ел сладко, пил, спал вволю, ну, накопил дикого-то мяса и давай дурить... Еще как выжимал, бывало, каждый грош из тех, кто победнее, потому придет такой бедный человек в лавку — он весь твой. То удивительно, что мне приятно было содрать с него этот вот самый распоследний грош, чтобы он, например, чувствовал, каков я человек есть. Тепло, светло, сытно — сидишь себе в горнице да радуешься, на дворе стужа, клящий[259] мороз, а тебе еще приятнее, — потому, как в это время беднота колеет да зябнет. Жену постоянно обманывал, да еще Ульяну чуть не загубил из-за своего дикого-то мяса... И все-то было мне мало, все завидовал, как другие богатые купцы живут. Ей-богу, совестно даже рассказывать... От этой самой подлости и пировал. Ну, а как пришел я в себя, сейчас же себе зарок крепко-накрепко дал: первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели господь подымет на

ноги — беспременно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкам землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую веру. Прибежали сюда, место было совсем дикое, зверовое — опять ихними же трудами все устроилось. А мы как живем? То-то вот и есть... Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вот все это бросать... жена ревет, ну, да как-нибудь. Вот меня только эта самая духовная весьма беспокоила, а теперь к нотариусу, и шабаш.

Мы расстались друзьями. Важенин вышел проводить меня на улицу и долго стоял за воротами без шапки, заслонив глаза рукой. Мне сделалось очень грустно, когда я припомнил слова Важенина: «Одно плохо: грамота-то наша больно дубовая, надо, значит, к адвокату обратиться, например, а уж эти адвокаты... Ах, кабы не темнота-то наша, кажется... ну, да что об этом толковать!..» Моя почтовая пара тащилась по узким кривым улицам, уставленным старинными дворами, каких уж нынче не строят: высокие коньки, свесы под окнами и на воротах с узорчатой прорезью, шатровые крыльца — все это было поставлено

крепко и плотно, как нынче не ставят изб. В центре завода разлегся довольно большой) пруд; на одном берегу стояла каменная церковь, у плотины в березовой роще потонул старинный господский дом. Он был выстроен в один этаж, как строились старинные помещичьи дома; маленькие окна вот уже пятьдесят лет как добродушнейшим образом смотрят кругом, как умеют смотреть очень хорошие старички, а между тем сколько драм разыгралось за этими окнами, когда царил Иван Антоныч... Сколько народа было перепорото насмерть, а Иван Антоныч любовался из окошечка на экзекуцию и приговаривал: «ангел мой», «миленький», «голубчик». Тут же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча «душенька» Харитинушка, вероятно, скоро выучившаяся печь «пирожки с осетринкой», и тут же стоял казачок Евстратушка в дареной шелковой рубахе.

Теперь в старом господском доме, полном еще крепостными слезами и напастями, поселился «сплошной немец», сразу напустивший сухоту на тридцатитысячное население всех Пластунских заводов, и «быша последняя гор-

ше первых». Вон на горке строят новые дома — это тоже для представителей высшей заводской администрации, которая быстро доведет заводы до полного краха и пустит население по миру, но — прежде чем доведет до этого — будет вытягивать правительственные субсидии, будет хлопотать о повышении пошлин на привозимые из-за границы дешевые металлы, будет донимать рабочих штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.

— А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то? — говорил Важенин, уже стоя за воротами. — Двенадцать тысяч целковеньких... Давно бы нечем было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручили: ими, можно сказать, только и держимся.

V

Важенин действительно начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки, постоянно приезжал в город, ходил по адвокатам, собирал какие-то справки, ездил в губернский город Мохов за какими-то таинственными документами, писал какие-то «копии, с копии копии» и опять исчезал. Заходил

он ко мне раза два «перевести дух», как говорил, садился в уголок и, оглядываясь, подавленным шепотом рассказывал свое хождение по мукам и мытарствам.

— Адвоката, слава богу, приспособил... — говорил он с счастливой улыбкой. — Ваше, говорит, дело правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человек и притом: пасть... По фамилии: Человеколюбцев.

— Кто вам его рекомендовал?

— Да уж я об них обо всех стороной наводил справки и вызнал вполне...

К особенностям Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недоверие к господам, даже совсем не заинтересованным в деле, как я, например. Он везде стал видеть подвох и обходил все рекомендации и советы, как очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непременно самому, притом через каких-то темных «своих» людей, которым он доверял.

Пластунская заводская администрация с своей стороны тоже зашевелилась: и Баз, и

Берх, и Барч, и Адельсон — все приняли участие в завязавшейся борьбе, как гудит шмелиное гнездо, когда в него ткнут палкой. Прежде всего, конечно, «сплошной немец» тоже поехал наводить справки, собирать документы и, пользуясь удобным случаем, увеличил свою канцелярскую лестницу еще одной ступенькой, заграфленной под названием «Юрисконсульт Пластунских заводов», и на эту лесенку сейчас же влез присяжный поверенный N*-ского окружного суда Бартельсон, который сделался таким образом естественным противником Человеколюбцева, тоже состоявшего при N*-ском окружном суде в качестве присяжного доверенного. Словом, каша заварилась.

— А мы все-таки покажем им, как лягушки скачут... — говорил Человеколюбцев, человек очень строптивого и неуживчивого характера.

Человеколюбцев действительно повел дело самым энергичным образом, для первого раза совсем растворился во всех этих указах, данных, купчих крепостях, справках, протоколах, сенатских решениях, окладных листах,

специальных планах и т. п., так что поддерживал свои слабевшие силы только тем, что в течение суток выкуривал полфунта табаку. Он несколько раз ездил в Боровки и производил осмотр самого места, из-за которого вышло все дело, а также вызвал официальный осмотр его от лица гражданского отделения N*-ского суда. Но пластунская администрация тоже не дремала и даже хотела предупредить Человеколюбцева по части науки о скачущих лягушках, — она послала через урядника в надлежащее место довольно безграмотный донос на Человеколюбцева, который в качестве «странствующего неблагонамеренного адвоката» обвинялся в том, что он, Человеколюбцев, из-за корыстных видов возбуждает тлетворное волнение доверчивых умов, за что и заслуживает немедленного удаления в соответствующие прохладные Палестины. «Надлежащее место» навело справки, но Человеколюбцев оказался не только сыном отечества, а даже великим патриотом: в N*-ске не было лавки и магазина, где он не был бы должен, затем выяснилось, что решительно все — даже гораздо больше, чем все, что он

получал от своих клиентов, — он немедленно провинчивал, и, наконец, что у него в разных судах накопилось двенадцать дел о незаконном присвоении чужого имущества и подлоге в разных формах. Один остроумный чиновник особых поручений где-то сострил, что даже душа у Человеколюбцева взята где-то в долг и давно просрочена. Невинность Человеколюбцева была очевидна, и дело пошло своим порядком.

— Вот возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, — торжествовал Важенин, оказавшийся очень проницательным человеком!.. — Уж это такой человек, такой человек, что его ни с какого боку не уколупнешь: весь в щетине...

Бартельсон был несколько иного мнения о Человеколюбцеве и терпеливо ждал судьбища. N*-ское общество приняло самое живое участие в этом деле, сейчас же разделилось на партии и в день суда наполнило собой почти всю залу гражданского отделения N*-ского окружного суда, которая в обыкновенное время стоит совсем пустая или «черная» публика заходит в нее только погреться.

Мы не будем утомлять читателя подробностями всего происходившего в суде. Скажем только, что левую половину скамеек для публики занимали Баз, Берх, Барч, Адельсон а их сторонники, а правую — Важенин, четыре братана Мяконьких, знакомый уж нам Секрет и еще несколько любопытных, явившихся сюда из того любопытства, которое некоторых людей неудержимо тянет на пожары вообще к каждому месту, где собралась какая-нибудь публика. Бартельсон и Человеколюбцев стояли пред судом и усиленно строчили на своих пюпитрах с задумчивым видом людей, решившихся пожертвовать собой для общего блага. Пока шло чтение доклада, продолжавшееся битых часов шесть, я рассматривал Важенина и братанов Мяконьких, которые представляли собой в высшей степени типичную группу.

Глядя на братанов Мяконьких, я долго старался припомнить, где я раньше видал этих богатырей, настоящих людей «от пня», как выражался Важенин, — но память «захлестнуло», и конец. А между тем эти страшные руки, крепкие, как столбы, затылки, эти совер-

шенно невероятные спины и могучие груди так были знакомы, точно вот я их видел где-то на днях. Каково было мое удивление, когда я, наконец, припомнил все: да ведь эти братаны точь-в-точь как те библейские братья, которые нарисованы во всех священных историях для детей — убийство Каином Авеля, сцена, как продает Исав за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, продажа Иосифа братьями измаильтянам..: Положительно это они: такие же библейские руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли в ушах слова благословения, которое дал престарелый Иаков библейским сыновьям!: «Ты, Рувим, первенец мой — ты крепость моя и начаток силы моей... Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих...» Нужно было видеть, как теперь эти «рослые теревинфы» напрягали все свои силы, чтобы понять все происходившее у них перед глазами, — они делались жалки в своей физической силе, которая была придавлена их темнотой, как тяжелым камнем. Вот большак Михалко в сотый раз вытирает капающий с лица пот, точно на нем целый воз привезли; середняк Мяконькой сдвинул бро-

ви, наморщил лоб, уперся глазами в «суд» да так и застыл в одной позе; меньшаки потели, вздыхали и всё смотрели на спину Человеколюбцев а, который во фраке, в белом галстуке и в золотом пенсне был положительно великолепен. Важенин сидел впереди у самого барьера и ужасно походил на тех великопостных причастников, которые с благочестивым спокойствием ждут своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кроме того, что было перед барьером. Меня поразило именно это спокойствие, которым дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина, — не было больше ни прежнего недоверия, ни скрытного искательства, ни страха, потому что он один знал здесь, зачем он пришел сюда и что он прав. Именно, прав, и это сознание делало его неизмеримо выше торжествовавших заранее противников: он переживал великий психический момент, когда человек делается рабом известной идеи и больше не знает сомнений.

Сидевший рядом с Важениным Секрет был под хмельком и больше зевал по сторонам, время от времени закручивая свои тараканьи

усы чрезвычайно молодцеватым жестом. Он часто оглядывался к братанам Мяконьким, глупо подмигивал и делал какие-то необыкновенно таинственные знаки посредством пальцев. В суде Секрет был как у себя дома, потому что чувствовал непреодолимое тяготение ко всяким господам, — это был пропащий человек, счастливый собственным ничтожеством. Глядя на братанов Мяконьких, на Важенина и Секрета, я никак не мот представить себе ту дикую сцену, которая разыгралась около «середовины», когда Мяконькие «произвели» Важенина и Секрета «под один пузырь»; дальше выступали еще более дикие несообразности: «прилежание» Харитинушки, темный товар, вылущивание грошей и копеек из пластунских мастерков, облава на могутную девку Ульяну... Действительно, нужно всю силу «родительской крови», чтобы довести Важенина до того, чем он был в настоящий момент.

После докладчика говорили сначала Человеколюбцев, потом Бартельсон, затем опять Человеколюбцев и опять Бартельсон. Нового они ничего не сказали и, кажется,

больше всего заботились о том, чтобы показать противнику, «как лягушки скачут». Человеколюбцев в интересах своих доверителей ссылался на jus primae occupationis[260] и земскую давность; Бартельсон досказывал, что заводское дело имеет величайшее государственное значение в наш «железный век», перечислял бесконечные права заводовладельцев, выяснял юридическое значение права на «недра земли», значение посессионного права и в конце концов сказал, что если суд признает требования боровковского общества правильными, то тем самым подаст сигнал к бесконечным аграрным беспорядкам. Все это судоговорение закончилось тем, что суд признал требования боровковского общества правильными, хотя и с некоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсон и остальные «немцы» еще ранее предвидели такое решение суда, но зато надеются на большую справедливость следующей судебной инстанции; Важенин ничего не сказал, а только положил на свою широкую грудь широкий мужицкий крест.

— Теперь надо будет пластунские народы

вызволять... — говорил он задумчиво, выходя из залы суда.

На другой день рано утром забежал ко мне Секрет; он иногда заходил поздравить с праздником или попросить на похмелье, но на этот раз лицо у него просто сияло.

— Ты уж здоров ли? — спросил я.

— Слава богу, как следовает быть: в полном составе, — ответил он молодцевато. — А ведь я, вашескородие, того, середовину-то, того, сфукал.

— Как так?

— А уж так... На, не доставайся же она Бацу — и шабаш. В лучшем виде... Железная дорога пройдет через середовину-то, а я буду сторожем. Верно... Наехало теперь господ страсть: земило меряют, столбы ставят, планты делают, орудуют вполне... Все-таки выходит, что я отстоял ее, середовину-то: никому Не доставайся! И только господа наехали... ах, какие господа!.. Набольший-то у них и говорит мне: «Ты прикармливай волков...» Ну, натурально насчет охоты. Как приду, он сейчас двугривенный: «На двугривенный, купи бараньих голов волкам...» Куплю я бараньих го-

лов, брошу их в лесу, а потом опять к барину: «Съели, барин!» — «Ну, еще купи... вот тебе двугривенный». Ну, так-ту мы бились с ним цельный месяц: он мне деньги, я — бараньи головы волоку, а волки едят... Уж такие господа, такие господа прахтикованные! И жалованье обещают... Буду себе с зеленым флачком на рельсах постаивать, — вот оно какое дело-то подошло, вашескородие!..

— Что же, стреляли волков-то?

— Какое стреляли: мы им бараньи головы валим, а они лопают — только и всего...

Лес

(Психологический этюд)

I

Приезжая на лето в Журавлевский завод, я прежде всего отправлялся к дьячку Фомичу, который жил рядом со мною, — обыкновенный ход был огородами: перемахнешь через низенькое «прясло» — и сейчас на территории Фомича. Здесь прежде всего бросалась в глаза старая, покосившаяся баня, вся испятнанная пулями и дробью, точно оспой. Осо-

бенно пострадали банные двери с нарисованным на них черным пятном, тем более что в трудную минуту Фомич выковыривал засевшие в дверях пули и пускал их снова в дело. Нужно сказать, что эта злополучная баня стояла как раз на меже с нашим садом, и пули Фомича свободно могли летать в чужой огород, но на это последнее обстоятельство както никто не обращал никакого внимания, тем более что Фомич на весь завод пользовался репутацией хорошего стрелка.

Избушка, в которой жил Фомич, стояла на высоком пригорке, так что своим огородом упиралась прямо в горную бойкую речку Журавлиху. Под крыльцом избы вечно выла голодная собака, потому что Фомич имел очень оригинальный взгляд на питание.

— Чутье потеряет, — уверял он с самым серьезным видом. — От еды у собак нюх портится.

— Да ведь неприятно, когда у вас под самым ухом день и ночь воет голодная собака?:.

— Известно: пес, ну и воет... Кормить его, так он еще пуще будет выть.

Меня всегда удивляла эта бессмысленная

жестокость и какое-то полное бесчувствие. Часто по ночам вой голодной собаки будил соседей, и они бранили его, но из этого ничего не выходило: Фомич совсем не желал портить собачьего чутья. Конечно, при таком образе жизни собака издыхала через год, много через два — и Фомич заводил новую, причем кличка оставалась одна и та же: Лыско. Я помню целый ряд таких несчастных Лысок, которые надрывали мне душу своим воем. Единственное, что я мог сделать для них, — это потихоньку от Фомича кормить их. Здесь необходимо заметить еще то, что все эти Лыски принадлежали к замечательной породе вогульских собак, которые в Среднем Урале очень ценятся всеми «ясашными» (здесь так называют охотников, от «ясака» — подать мехами). Заводские мастеровые платят за хорошую собаку рублей пятнадцать — двадцать, что по местному денежному курсу очень дорого. По внешнему виду такая собака походит на эскимосскую: уши торчат пнем, острая морда, живые глаза, хвост загнут на спину кольцом, широкая грудь и тонкие, сильные ноги. Большинство таких вогулок пестрые,

поэтому и распространенная кличка — Лыско. Особенно ценятся вогулки желтоватого цвета с желтыми пятнами на бровях или совсем серые, волчьего цвета.

— У которой пятно на брови — та и ночью видит, — уверял Фомич, а разубедить его в чем-нибудь было крайне трудно.

Такая вогулка действительно золотая собака для настоящего ясашного — чутье у ней поразительное, особенно на зверя. В Среднем Урале эти собаки ведутся от чусовских вогул, которые живут еще и теперь в двух деревушках на реке Чусовой — Бабенки и Копчик. Сколько мне известно, образованные уральские охотники совсем не обращают внимания на эту замечательную собачью разновидность, которая погибает вместе с вымирающим вогульским племенем. Мне лично такие вогулки ужасно нравятся: они отличные сторожа, неутомимы на охоте за всяким зверем и чрезвычайно умны. Может быть, нужно было целую тысячу лет, чтобы создать этот тип охотничьей собаки.

Изба Фомича дощатой перегородкой делилась на две половины. В первой жил он сам, а

во второй жена, которую он звал «матерёшкой», с единственной дочерью Енафой, курносой и рябой девушкой, «зачичеревевшей в девках». Комната Фомича выходила своим единственным окном, вечно заклеенным синей сахарной бумагой, в огород и на реку; из него открывался великолепный вид на извилистое течение Журавлихи, рассыпавшиеся по ее берегам дома, на лес и, главное, на «камешки», как называл Фомич горы. Налево от двери на стене висел небольшой деревянный шкафик, над ним кремневое ружье, у окна стоял некрашеный деревянный стол, около перегородки лавка, два колченогих стула — и только. Комната, собственно, была пуста, но она мне нравилась именно потому, что в ней жил Фомич. Эта бесприютная, непокрытая бедность выкупалась самим хозяином.

— Бувайте здоровеньки!.. — говорил Фомич, одинаково каждый раз здороваясь. Дома, зиму и лето, он ходил в коротенькой курточке из оленьей шкуры и в шапке из молодой оленины. Пестрядинные штаны были заправлены в голенища всегда худых сапогов. Этот странный наряд не казался странным для тех,

кто знал Фомича. Нужно заметить, что по особенным гигиеническим соображениям он в своей оленьей шапке спал на печи зиму и лето. Когда я познакомился с ним, ему было уже за пятьдесят лет. Сгорбленный, худой, с неверной, шмыгавшей походкой, он превращался в типичного старозаветного дьячка, когда надевал единственный свой казинетовый подрясник, обвисавший на его сгорбленном теле некрасивыми, тощими складками; к довершению этого безобразия из-за высокого засаленного ворота подрясника появлялись на свет божий две жиденьких и коротких косички, болтавшиеся как два крысиных хвостика. В обыкновенное время эти косички исчезали под оленьей шапкой. Всего замечательнее у Фомича было его некрасивое скуластое лицо с носом луковицею. Жиденькая борода и такие же усы какого-то песочного цвета не могли скрасить этого лица. Зато хороши были у Фомича его небольшие серые глаза с узкими зрачками. Он имел характерную привычку смотреть куда-нибудь в сторону и только время от времени взглядывал на вас быстрым, открытым, проницательным взглядом, как

смотрят немножко тронутые русские люди.

Собственно, в Фомиче, как это нередко случается на Руси, жило два человека: один — приниженный, жалкий и льстивый, а другой — самостоятельный, гордый и оригинальный. Первого человека Фомич точно надевал на себя вместе с подрясником. Таким он был на клиросе, где читал «бормотком» и пел разбитым голосом вместе с писарем Павлином; таким он был, когда попадал куда-нибудь в компанию бойких заводских служащих, таким он ходил по заводу за попом с разными требами, таким, наконец, он пробирался каждое воскресенье прямо из церкви в кабак к своей приятельнице Зайчихе «подковать безногого щенка». Длинные руки, видимо, мешали Фомичу, и он постоянно ими запахивал расползавшиеся полы своего подрясника. Даже ходил он как-то крадучись и все старался пробраться где-нибудь огородами, чтобы не на виду у добрых людей; в разговоре улыбался заискивающей улыбкой и вообще держал себя льстиво-униженно.

Дома Фомич был другим человеком. Я много лет знал его и все-таки с удивлением на-

блюдал это превращение, — решительно другой человек. Впрочем, из своего приниженного состояния Фомич выходил и при людях, когда выпивал лишнюю рюмочку или когда разговор заходил об охоте. Охотничьи рассказы Фомича пользовались большой популярностью, и где-нибудь на именинах около него всегда собирался кружок слушателей. Любимой темой были «олешки» и «мишка», причем Фомич умел представить все в лицах: нюхал воздух, как зверь, таращил глаза и делал уморительные прыжки в своем странном подряснике. Но в гостях Фомич пересаливал и дома был не тем, чем казался посторонним людям. Во-первых, это был замечательный оригинал и чрезвычайно наблюдательный человек, которого никогда не оставляло неизменное добродушно-юмористическое настроение. Ко всем и ко всему Фомич относился свысока, но эту гордость он позволял себе только дома.

Он умел над всеми посмеяться умненько и тонко, иногда одной гримасой. Чужие слабости и особенно глупость доставляли ему даже какое-то удовольствие, и он имел некоторое

право смотреть на многих свысока, потому что обладал сильным природным умом, которого не могло сломить даже дьячковское существование, несчастнейшее из всех, изобретенных добрыми людьми.

К своим семейным Фомич относился тоже особенным образом, точно стыдился своей человеческой слабости. Его «матерёшка» никогда не показывалась при людях из-за перегородки, и только слышно было, как она чем-то вечно стучала за печкой. К женщинам Фомич питал чисто философское презрение, как к предмету недостойному, притом очень вредному и даже опасному. Когда писарь Павлин заводил речь о «женском поле», Фомич только фукал носом, как рассерженный старый кот, и отплевывался. Рассказывали, что он не доверял жене ни в чем и даже хлеб пек собственными руками.

Во всем доме Фомича была единственная сколько-нибудь ценная вещь — это кремневая малокалиберная винтовка, служившая ему более тридцати лет. Тяжелая березовая ложа была собственного изделия Фомича и отличалась хозяйственной прочностью. Заме-

чательнее всего то, что Фомич из этой винтовки стрелял и зверя, и птицу, и белку.

— Откуда у вас это ружье? — несколько раз спрашивал я старика, рассматривая его самопал.

— Так... от одного человека.

К числу особенностей Фомича принадлежала необыкновенная таинственность, особенно когда дело касалось охоты. На свое ружье он смотрел как на что-то живое и, когда делал из него промах, обвинял не себя, а то, что «дурит» ружье. Больше всего на свете Фомич боялся, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина: тогда бросай все и заводи новое.

— Я из него не один десяток олешек загубил, — любил похвастаться Фомич под пьяную руку. — Оно хозяина знает... да!

Трофеи охотничьих побед Фомича заключались в оленьих шкурах, которые служили всей семье как ковры и одеяла. Выделывал их Фомич сам, равно как и беличьи и куньи шкурки, хотя, нужно отдать ему полную справедливость, выделывал очень скверно. Впрочем, для своего домашнего обихода Фомич все

делал сам: и ложу к ружью, и лыжи, и лядунку[261] для пороха, и памятный мне деревянный шкаф с охотничьим снарядом, и мебель, и мережи, и свою оленью куртку. В лесу у него всегда было надрано лыко и заготовлены дрова. Только при таком самоделье Фомич и мог сводить концы с концами, потому что прожить на три рубля причетничьего жалованья, с семьей на руках, дело решительно невозможное. Посторонних церковных доходов Фомич получал такую гомеопатическую дозу, о которой не стоит и говорить. Журавлевский завод наполовину состоял из раскольников, и приход был очень плох. Несколько раз Фомичу предлагали занять место дьякона, но он упорно отказывался.

— Отчего вы не хотите в самом деле быть дьяконом? — спрашивал я. — Дьякон вдвое больше получает.

— А «матерёшка» умрет?.. Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Это была, конечно, шутка. Фомич не шел во дьяконы по той простой причине, что тогда потерял бы право ходить на охоту, другими словами — его жизнь утратила бы всякий

смысл, а теперь получалось из Лыски, Енафы, матерёшки и самого Фомича вполне законченное, органическое целое.

II

Самое лучшее время на горных уральских заводах — это «страда». С петрова дня до самого успенья производство закрывается, кроме доменных печей, и все население уезжает и уходит на покосы. Если нет своей скотины, «страдают» для продажи, а если нет своих покосов — нанимаются к другим. Заводы пустеют, а зато оживают все окрестности и самые глухие лесные уголки. Лошадь и корова — главные хозяйственные статьи заводского мастерства, и поэтому на сене сосредоточены в это время все его помыслы. Хлебопашество на заводах существует, но в очень небольших размерах: и земля большею частью «неродимая», да и народ отвык от настоящей крестьянской работы. Мы говорим о большинстве горных заводов, хотя есть и исключения, как в заводских округах башкирской полосы.

На Журавлевском заводе пашни были человек у десяти, не больше, а для остальных слово «страда» ограничивалось заготовкою

сена. После тяжелой «огненной» и приисковой работы сенокос являлся желанным отдыхом, и всякая мало-мальски справная семья в полном своем составе перекочевывала на покосы. Нужно было видеть, как «горит работа» у вырвавшегося на свежий воздух народа-это настоящий праздник, и по вечерам на десятки верст несутся веселые песни. Цыганская обстановка сенокоса для молодежи является самым счастливым временем, и в результате получаются осенние свадьбы или же специальные несчастья, которым особенно подвержена «извольничавшаяся» заводская девка. Нравы заводского населения, как известно, не отличаются особенным целомудрием вообще, а на Урале они поражают своей разнузданностью.

Эта заводская страда совпадает как раз с охотничьим сезоном; пока не поспели выводки, идет охота на «линялых» косачей, которые в это время прячутся по самым неприступным чащам и трущобам, меняя весеннее брачное оперение на обыкновенное затрапезное, а с наступлением июльских жаров начинается охота на оленей, которых днем овода

загоняют в густые заросли или прямо в воду. В это горячее время мы с писарем Павлином уходили в горы на несколько ночей и бродили по лесу, как настоящие дикари. Окрестности Журавлевского завода представляли в этом отношении все необходимые условия, начиная с того, что в одну сторону до ближайшего жилья было сорок верст, а в другую больше ста верст тянулись горы и лес, лес и горы. Места в общем были порядочно дикие, но они скрашивались необыкновенным изобилием живой текучей воды, сбегавшей с гор десятками горных бойких речек и речонок. Кроме того, недалеко было одно большое горное озеро со множеством островов и еще два маленьких озерка. Выходила настоящая живая сеть, которая охватывала собою все горы и привлекала массу всевозможной дичи.

Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, известное одним охотникам. Встанешь с ранней зарей и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до первой знакомой избушки. Любимым местом была избушка Фомича на горе Размет, до которой от завода было верных семнадцать —

восемнадцать верст. Замечательное это место Размет — собственно, так называлась и самая гора и прилегавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону Журавлевского завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Водораздельная линия проходила узкой, извилистой полосой, иногда достигавшей всего нескольких десятков сажен, как было, между прочим, у лесной избушки Фомича. Таким образом, нам часто случалось ночевать на самой границе между Европой и Азией.

В один из отличных июльских дней, когда, по всем признакам, погода установилась прочно, мы с писарем Павлином забрались в горы очень далеко. Охота вышла не особенно удачна, и к концу дня мы едва имели в запасе одного косача. Кроме того, Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. Это было далеко за Размером.

— Придется идти к Фомичу, — говорил я,

когда до заката оставалось всего часа два, значит, нужно было торопиться.

— Я не пойду, — упрямился Павлин, растянувшись на земле пластом.

— А я пойду.

— Скатертью дорога.

Произошла небольшая размолвка, закончившаяся тем, что Павлин, наконец, поплелся за мной, — оставаться одному в глухом лесу было не особенно приятно, а до балагана Фомича было около десяти верст. Писарь Павлин — небольшой человек, с большой кудрявой головой — принадлежал к самым безобидным людям, но на него иногда накатывалось совершенно беспричинное упрямство. Ничего не оставалось, как воевать с ним тем же оружием, тем более что по ночам в лесу Павлин боялся не зверя или человека, а «лешака» или «лешачихи», которые проделывают над людьми всевозможные пакости. Павлин по-своему был даже начитанный человек, но освободиться от разной чертовщины был решительно не в силах.

Признаться сказать, идти десять верст на Размет после целого дня утомительной охоты

было делом нелегким, и на меня не один раз нападало свойственное в таких случаях малодушие. Каждая хорошая ель, открытый берег речки или укромный уголок где-нибудь под скалой так и манил отдохнуть, но прежде всего нужно было выдержать характер и поддержать авторитет пред ослабевшим товарищем.

Солнце быстро опускалось. Лес темнел. Маленькая горная тропинка делала, по-видимому, совершенно ненужные повороты и кривулины, точно для того только, чтобы помучить нас. Солнечный закат в горах удивительно красив. Тени нарастают, и со всех сторон, точно сознательно, будто живая, начинает надвигаться на вас ночная глухая мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох, и в параллель с этим ваши собственные чувства получают какое-то болезненное напряжение, — именно в такие переходные моменты дня больше всего и «блазнит»[262] непривычному человеку. Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся тенях создания собственного воображения. Вообще переживаешь неопределенно

тревожное настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику. Только такие «лесники», как Фомич, сживаются с таинственной жизнью леса настолько, что их ничто не в состоянии напугать. Как хотите, но в лесу голова работает совсем не так, как у себя дома, и прежде всего здесь поражает вас непривычная лесная тишина, которая дает полный разгул воображению, точно идешь по какому-то заколдованному царству. Днем эта тишина нарушается ветром и птицами, а ночью вы окончательно предоставлены самому себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что незримо хранится в глубине вашей души. Выплывают смутные образы, неясные лица, звуки и краски.

Павлин покорно плелся за мной и, вероятно, для храбрости, несколько раз принимался ругаться, просто так ругаться, в воздушное пространство, не относясь лично ни к кому и ни к чему. В одном месте, спустившись в глубокий лог, где было уже совсем темно, Павлин остановился и заявил самым решительным образом:

— Мы не туда идем...

Спорить с ним не стоило, и я продолжал идти вперед. Действительно, начинало казаться, что место как будто не то: и лес другой и дорожка делала совсем ненужные повороты. Являлось серьезное сомнение, что мы сбились с дороги, так как и по времени должны были быть уже на месте. Крутой подъем, который начинался прямо от лога, походил на Размет, но кругом было так много гор и все подъемы на них по извилистым горным тропинкам так похожи один на другой. Наступившая ночная свежесть придала нам силы; солнце уже закатилось, и мимолетные горные сумерки сейчас же сменились ночью, холодной и туманной, какие бывают только в горах. Показались первые звездочки, теплившиеся в бездонной глубине фосфорическим светом, как светляки в траве; выплыл молодой месяц, пустивший широкую и туманную полосу переливавшегося серебристого света. На полугоре мы остановились отдохнуть. Должна была показаться повертка к избушке Фомича, но ее не было. Из-за леса трудно было рассмотреть другие горы, чтобы ориентироваться, ночью горная панорама имеет со-

всем другой вид, чем днем. По упорному молчанию Павлина я видел, что он окончательно убежден в нашем «плутании» и что это совсем не Размет.

— Действительно, кажется, мы того... взяли немножко в сторону, — заговорил я, сознавая свою невольную вину. — Облевили, должно быть.

Огорченный Павлин не удостоил меня ответом и только сердито пыхнул своей папиросой: дескать, я говорил и т. д. Но в это время где-то, точно под землей, послышался собачий лай — и сразу все изменилось: да, это был Размет, сейчас повертка к Фомичу, а лает его Лыско...

— Слышишь? — торжествующе спрашивал я Павлина.

— Чего слышать-то?.. Лыско лает... Вот она, береза-развилашка стоит у повертки. Слепой дойдет...

— Однако признайся...

— Нечего мне признаваться... Может, я сто раз здесь бывал, а только в сумерки всегда глаза отводит в лесу — уж это верно. Однова я так-то цельную ночь проходил по покосам:

прямо в трех соснах заблудился.

Мы весело повернули с тропинки и побрели прямо сакмой, то есть легким следом, который остается в траве.

Скоро сакма повела нас по лиственничному лесу — значит, сейчас будет избушка. Напахнуло дымком, лай Лыски повторился, но с теми нерешительными нотами, которые свидетельствовали о его сомнениях: по уверенным шагам собака начинала догадываться, что идут свои знакомые люди. Только охотники могут различить эти разнообразнейшие оттенки собачьего лая, который именно в лесу имеет свою оригинальную прелесть.

Избушка Фомича была поставлена на открытой поляне. Теперь избушку Фомича выдавала тянувшаяся струйка дыма и колебавшаяся полоса красноватого света, падавшая на ближайшие деревья от костра. Мы уже выходили на самую поляну, где трава стояла до самых плеч, как Павлин вдруг остановился, точно его чем ударили, — он шел впереди, и ему было видно, что делается перед избушкою.

— Что случилось? — окликнул я.

— Должно быть, опять поблазнило... — бормотал Павлин и даже протер глаза. — Вот так штука!.. Уж идти ли нам?.. Эх-ма!..

Изумление Павлина объяснялось очень просто: у избушки стоял сам Фомич и зорко смотрел в нашу сторону, а около огня на корточках виднелась какая-то женская фигура — эта последняя и смутила Павлина. Фомич в глухом лесу и с глазу на глаз с какой-то бабой... Лыско с оглушительным лаем летел уже к нам, нужно было обороняться прикладами, потому что в азарте он мог не узнать и вцепиться.

— Мир на стану! — кричал Павлин, подходя к избушке.

— Вишь, полуношники... — проворчал Фомич, здороваясь. — А я думал, уж не бродяги ли какие.

Женщина продолжала сидеть около огня по-прежнему неподвижно, и мне бросилась в глаза только ее покрытая голова с белокурыми кудрявыми волосами. Она сосредоточенно помешивала деревянной ложкой какое-то варево в болтавшемся над огнем железном котелке и не желала обращать на нас никакого

внимания.

— Да ведь это Параша Кудрявая!.. — с удивлением вскричал Павлин. — Вот напугала-то... Ах, ты, ешь тебя мухи с комарами!.. Ну, здравствуй, красавица...

— Была Параша, да чужая, не ваша... — ответила свежим, низкого тембра голосом красавица и все-таки не двинулась с места.

— А ты не сердись, — умница... Нет, как ты напугала-то, Параша, да еще и на грех навела.

— Отстань, смола! — сердито окликнул его Фомич.

III

Избушка Фомича была сделана из толстых лиственничных бревен, почти совсем вросла в землю; из высокой травы горбилась одна крыша, покрытая дерном. Маленькая дверка придавала ей вид дрянного погреба. Зато кругом горная трава росла в рост человека: тут была и «медвежья дудка», чуть не в руку толщиной, с белыми шапками цветов, и красноголовые стрелки иван-чая, и душистый лабазник, и просто крапива. Летом это был прелестный, совсем потонувший в зелени уголок, но как жил здесь Фомич зимой по целым

неделям — я не мог понять. Внутри избушка еще сильнее походила на погреб, да и сырость здесь вечно стояла невыносимая. Задняя половина была занята широкими нарами, налево от дверей, в углу, стояла печь, сложенная из камней. Трубы не полагалось, поэтому весь дым скоплялся в избушке. В холодные ночи спать в ней было сущим адом: дым ест глаза, дышать нечем, да еще настоящая банная температура. Однако сам Фомич, обремененный вечными недугами, и летом спал в своей избушке.

Мы, конечно, остались на воздухе и, первым делом, принялись за чай. Пока происходили эти предварительные хлопоты, Параша продолжала сидеть неподвижно и, обняв колена руками, сосредоточенно смотрела в огонь.

— Чистая русалка!.. — шептал Павлин, указывая на нее глазами. — И волосы свои распустила, и сама не шевельнется. А Фомич-то как за нее вступился!.. Двое поврежденных сошлись!..

В лесу Павлин побаивался Фомича, потому что «черт его знает, чего ему взбредет в баш-

ку», а теперь Фомич, видимо, был не совсем доволен нашим присутствием, и это последнее обстоятельство заставляло Павлина снизойти до перешептывания. Действительно, Фомич в лесу являлся новым человеком, и можно было только удивляться этим превращениям: приниженный дьячок оставался дома, а здесь был характерный и строгий человек, который ни одного слова не бросит на ветер и не сделает шага напрасно. Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные штаны, какие-то лохмотья из рыжего крестьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове оставались те же.

— Чаю хочешь, Параша? — предлагал Павлин, когда вскипевший жестяной чайник был уже снят с огня.

Этот вопрос на мгновение вывел дурочку из неподвижности, и она с каким-то удивлением посмотрела на всех нас, точно заметила наше присутствие только сейчас.

— Чаю?! — повторила она вопрос Павлина и сердито нахмурила брови. — Вон где чайто, — прибавила она, мотнув головой на

лес. — Кругом чай... и головками помахивает... желтенькие головки.

— У нас с тобой свой чай в лесу растет, — объяснил Фомич.

— Лабазник пьете?.. — спросил Павлин.

— Лабазник и еще одну травку прибавляем. Надо полоскать тепленьким кишки — вот и чай.

Параша уже не слушала нашего разговора и опять погрузилась в свое застывшее раздумье. Она упорно смотрела на перебегавшее пламя и подбрасывала иногда новое полено. Ей было на вид лет сорок, может быть, больше. Полное, немного брюзглое лицо со старческим румянцем на щеках еще сохраняло на себе следы молодой красоты. Большие, остановившиеся, серые глаза имели такое напряженное выражение, точно Параша не могла чего-то припомнить. Одета она была в синий раскольничий сарафан из домашней холстины, в белую рубашку и длинный ситцевый «запон»[263] с нагрудником — все это говорило о невидимой доброй руке, которая одевала «божьего человека», может быть, от своих кровных трудов, как особенно принято в рас-

кольничьей среде, где потайная милостыня ценится выше всего.

После утомительного охотничьего дня сон буквально валил нас с ног. Павлин уже спал, свернувшись клубочком около огня и не докончив ужина; я дремал рядом с ним. Окружавший нашу поляну лес при месячном освещении казался гигантскими водорослями, а вверху теплился неизмеримо-глубокий, вечно подвижный и вечно живой звездный океан.

— Завтра рано вставать... — говорила Параша, поглядывая на небо.

— Куда торопиться-то? — ответил Фомич, набивая нос табаком.

— Нет, уж лучше... трава не ждет.

— Ну, ну... Надсадой не много возьмешь...:.

Еще раз понюхав табаку, Фомич побрел своей расслабленной походкой в избушку, а Параша осталась у огня. Я скоро заснул и вскоре увидел себя на морском дне, в обществе сказочной девушки-чернавушки и царя водяного, а Павлин, с гуслями в руках, пел необыкновенные песни, от которых все водяное царство колебалось, и меня охватывал

мертвый холод морской бездны.

Параша Кудрявая принадлежала к числу тех дурочек, каких оставило после себя на уральских горных заводах крепостное право. Теперь этот тип вымирает вместе с крепостными дураками и разбойниками. Это знаменательный факт, который лучше всего характеризует существовавшие на заводах порядки.

О Параше ходила такая легенда. Родилась она на Журавлевском заводе и выросла в сиротстве, — отец был сдан в солдаты, а тогда солдатская служба равнялась тридцати пяти годам. Звали ее Дарьей. Так и жила солдатка с дочерью, черпая непокрытую ничем бедность и горе. Потом Даша подросла, выровнялась и стала красавицей писаной, какие попадаются только в смешанном заводском населении. И рослая, и высокая, и румянец во всю щеку, и тяжелая коса белокурых кудрей — одним словом, редкостная девка, а на такую приманку охотников всегда много. Присмотрела Даша себе и жениха, оставалось только сходить к заводскому приказчику на поклон и попросить разрешения на свадьбу. Увидел крепост-

ной приказчик Дашу и заартачился: погоди, да не ходи, да некогда, да еще твое время не ушло! Пока дело таким образом тянулось, приказчик успел дать знать управляющему в другой главный завод, Чернореченский, где проживал тогда знаменитый в уральских летописях самодур-заводчик Тулумбасов, большой охотник до всяческого безобразия, а над своими крепостными в особенности.

Чернореченского завода все боялись как огня; Тулумбасов не знал ни совести, ни страха. По фабрикам он ходил с заряженными пистолетами и проделывал над рабочими невозможные зверства. За малейшую провинность отсылали на конюшню, откуда часто приносили наказанных на рогожке прямо в больницу. Громадный тулумбасовский дворец являлся для всех настоящим адом: тут шел вечный пир горой, тут же молились по потайным моленным раскольничьи старцы, тут же наказывали плетьми и кошками и тут же проделывались невозможные безобразия над крепостными красавицами, которыми Тулумбасов угощал своих гостей. Благодаря угодливости журавлевского приказчика Даша и попа-

ла из своей сиротской лачуги прямо в тулумбасовский дворец. Необыкновенная красота ее обратила на себя внимание «самого», но Даша ответила на его ласки отчаянным сопротивлением — и была сведена на конюшню, откуда уже явилась тем, чем осталась на всю жизнь, то есть заводской дурочкой.

На Журавлевский завод Даша вернулась «божьим человеком» и зиму и лето ходила с непокрытой головой, изукрасив себя ленточками и цветными лоскутками. Мысль о любимом человеке превратилась в бред и галлюцинации. Она никого не обижала и часто пела те песни, которые вынесла из тулумбасовского дворца, где гремел крепостной хор. Особенно часто она пела свою любимую, от которой получила и прозвище «Параша»:

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай...

Но иногда на нее нападал нехороший стих, и Параша затягивала неприличную песню: «Косарики-косари». Ребятишки ее дразнили женихами. Рассердившись, она, как все сумасшедшие, не знала никакого удержу: руга-

лась, дралась, кусалась и выкидывала самые неприличные штуки. Жила она как настоящая птица божия: где день, где ночь. Благочестивые люди считали за особенное счастье держать у себя Парашу, но она редко могла где-нибудь ужиться дольше недели.

— Нет, пойду к жениху!.. — повторяла она каждый раз, отправляясь неизвестно куда.

Как и зачем попала Параша Кудрявая на Размет и что она могла там делать — для меня оставалось загадкой, тем более что Фомич был самым ярым женоненавистником.

Утром мы проснулись уже поздно, и около избушки не было ни Фомича, ни Параши Кудрявой. Павлин долго и аппетитно потягивался, зевал и продолжал лежать с закрытыми глазами, выжидая, не встану ли я первым — обыкновенная политика охотников. Нужно было развести огонь, сходить на ключик за водой и приготовить чай — операция вообще сложная — и напиться готового чаю всегда приятнее. Я тоже не желал поддаваться коварству приятеля и тоже некоторое время притворял-, ся спящим, пока обоим эта комедия не надоела, и мы поднялись разом.

— Вот что: один пойдет за дровами, а другой за водой, — уговаривал Павлин, чтобы не переделать на свой пай. — Этакий черт этот Фомич, нет, чтобы приготовить нам все... А Параша куда девалась?.. Настоящие оборотни, черт их возьми!

Было часов восемь, но солнце еще не успело подобрать росы, и трава стояла вся мокрая. Стоило сделать лишь несколько шагов, чтобы промокнуть до нитки, а такая холодная ванна сейчас после сна, когда тело еще полно сонной теплоты, особенно неприятна.

— О-го-го! — гоготал Павлин, направляясь по сакме к ключику.

— Фомич на покосе, — говорил Павлин, когда мы кончили чай. — Тут у него сейчас под Разметом есть две еланки. По весне отличные тока бывают.

Когда трава пообсохла, мы двинулись в путь. От избушки вела свежая сакма прямо на увал Размета. Когда мы вышли из леса, открылась одна из тех чудных горных панорам, какие встречаются только на Урале. Каменистый гребень вершины Размета, казалось, стоял от нас в двадцати шагах, хотя до него

было с полверсты, — так обманчива горная перспектива. Сейчас под ногами шел крутой спуск, усыпанный большими камнями и кой-где тронутый горной растительностью — елями, пихтами, низкорослыми березками. У подошвы ковром зеленел покос Фомича, и можно было рассмотреть две фигуры, медленно двигавшиеся по линии свежей кошенины. Они медленно раскачивались, очерчивая блестевшими на солнце косами широкие круги.

— Параша-то как работает... а! Вот так штука!.. — удивлялся Павлин, рассматривая в кулак косарей. — Ай да Фомич, какую работницу приспособил себе. Ах вы, оборотники проклятые, что придумали!..

Вся горная даль была еще подернута золотистым туманом, а по лугам лежала синеватая мгла — остаток таявшего на солнце тумана. Из-за Размета выглядывало углом широкое горное озеро, усеянное зелеными островами. Дальше теснились синие горы, где-то далеко-далеко на берегу речки желтым пятном выделялся небольшой прииск. В двух местах беловатыми струйками к самому небу поднимался дым от стоянок косарей или на стара-

тельских разведках. Журавлевский завод казался отсюда едва заметным пятном на берегу пруда. Но всего лучше был лес, выстилавший горы до самого верха и залегавший по логам дремучими ельниками.

— Эх, хорошо!.. — скажешь невольно, глядя на этот необъятный простор, едва тронутый двумя — тремя точками человеческого жилья.

Утром горы необыкновенно хороши, и невольно переживаешь такое бодрое и хорошее чувство, забывая об усталости и всех невзгодах охотничьего бродяжничества. Голубое небо точно выше, и дышится так легко. На горизонте уже круглятся белые грозовые тучки, где-то зашептала в траве первая струйка поднявшегося ветра, в кустах весело чиликнула невидимая птичка. Стоишь, смотришь и, кажется, не ушел бы отсюда.

IV

Покос Фомича шел неправильной полосой по самому краю кончавшегося здесь горного ската. Дальше начинался дремучий ельник.

— Бог на помочь!.. — кричал Павлин, когда мы подходили к косарям.

Параша Кудрявая продолжала работать, не обращая на нас никакого внимания. Фомич остановился, чтобы понюхать табаку.

— Куда побрели? — заговорил он после отчаянной затяжки.

— А я домой... — отозвался Павлин, поглядывая на него. — Дело есть в волости. Вот только еще заверну в ельничек, за косачами...

Мы посидели, поболтали, и Павлин отправился восвояси, а я остался, — мне хотелось еще раз заночевать на Размете.

— Пустой человек!.. — коротко заметил Фомич, прислушиваясь к доносившемуся пению неугомонного Павлина.

— А что?..

— Да так... Несообразно себя ведет: идет по лесу и хайлает. Разве это порядок?.. Вон Параша, и та понимает... Эй, Параша, будет тебе, передохни. Обедать пора!..

— Ну-у... — недовольно ответила Параша и принялась косить еще с большим азартом, так что коса-литовка у нее в руках только свистала.

— Как она к вам сюда попала? — спраши-

вал я.

— Она-то? А сама пришла. Потому чувствует себе пользу, — ну и пришла...

— От работы пользу?..

Фомич посмотрел на меня и ухмыльнулся самодовольно.

— Не от работы, а от лесу польза, — проговорил он после короткой паузы. — Вы с Павлином-то ходите по лесу, как слепые, а в нем премудрость скрыта: и травка, и цветик, и деревцо, и последняя былинка — везде премудрость.

— Какая же премудрость?

— А вот такая... Умные да ученые ходят, запинаются и не видят, а вот Параша чувствует.

Фомич последние слова проговорил обиженным и недовольным тоном, точно я оспаривал его мысль. Подвернувшийся на глаза Лыско получил удар ногой и с визгом скрылся в траве.

— Зачем собаку бьешь? — крикнула Параша, переходя на другую полосу. — Очумел, старый черт!..

Эта выходка рассмешила Фомича, и он только тряхнул головой.

— Ступайте вон по ельнику прямо, — заговорил Фомич, — там пониже выпадет ключик, и как спустишься по ключику — попадет речка, а на ней старый прииск...

— Ягодный?..

— Он самый... Там есть косачи.

— Хорошо; я схожу...

— Да хорошенько заметьте прииск-то: любопытное местечко. Может, и я заверну...

Выкурив папиросу, я отправился по указанному направлению. В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся летний зной, а в глухом ельнике было так прохладно. Нога совсем тонула в мягком желтоватом мхе. Кой-где топорщился папоротник или попадался целый ковер из брусники, иногда кустик жимолости — и только.

Отыскался и ключик и речка Смородинка, на которой стоял заброшенный прииск Ягодный — таких Смородинок на Урале не один десяток, как приисков Ягодных и Белых гор. Картина заброшенного прииска всегда на меня производит тяжелое впечатление: давно ли здесь ключом била жизнь, а теперь все пусто и мертво кругом как в разоренном непри-

ятелем городе. Забравшись на верх самой высокой свалки, я долго рассматривал развернувшуюся предо мной картину и по глубоким ямам выработок, по отвалам старых перемывок и обвалившимся канавкам старался восстановить картину недавнего прошлого. Вон по одну сторону темнеет черной впадиной Лаврушкин ложок, ближе — хрящеватый мысок с остатками развалившейся приисковой казармы, в глубине повитая сероватой дымкой угловатая вершина Размета. По течению Смородинки дремучий ельник был вырублен на целую версту, а теперь старая порубь быстро затягивалась свежей молодой зеленью, точно зарастала какая-то широкая рана.

Да, этот старый вековой ельник еще оставался по бокам прииска и так сумрачно смотрел на весело катившуюся речку по каменистому, изрытому дну. Бойкая горная вода суетливо перебегала по камням и точно сосала глинистый размытый берег. Но где еще так недавно была одна разрытая земля, теперь весело росла самая свежая зелень, точно она сбежалась сюда со всех сторон, чтобы прикрыть резавшую глаза наготу. Глубокие выра-

ботки и разрезы, откуда добывался золотоносный пласт, теперь были залиты дождевой водой или поросли мягкой душистой травкой. По берегам этой воды жались друг к другу кусты смородины, вербы, ольхи и лесная малина; а зеленая, сочная осока зашла в самую воду, где блестела и гнулась под напором речной струи, как живая. Кой-где догнивали торчавшие из земли бревна, а из-под них уже вылезали молодые побеги жимолости; тут же качались розовые стрелки иван-чая и пестрели болотные желтые цветы. Около старых пней, как дорогое кружево, лепился своими желтыми шапками душистый лабазник. У самого леса вытянулся целый островок молодого осинника, переливаясь на солнце своей вечно подвижной, металлической листвой, а дальше зеленой стеной поднимался березняк и по течению речки уходил из глаз. Но всего красивее были молодые ели и березки, которые росли по отвалам и свалкам: они походили на гурьбу детей, со всего размаха выбежавших на крутизну и отсюда любовавшихся всем, что было ниже. Казалось, что эта лесная молодежь лукаво шепталась между со-

бой, счастливая солнечным днем и тем, что дает только полная сил молодость.

Такие зарастающие поруби замечательны своим внутренним характером, теми новыми комбинациями, какие складываются у нас на глазах. При некоторой живости воображения получается целая иллюзия, и все эти деревья, кусты и последняя травка освещаются глубоким внутренним светом. Так и кажется, что вот этот темный ельник, который обошел прииск со всех сторон зубчатой стеной, хмурится и негодует на неизвестных пришельцев, которые так весело разрослись на поруби, пришли бог знает откуда и расположились на чужом месте, как у себя дома. Действительно, все эти березняки и осинники являются какими-то лесными бродягами, которые с нахальством бросились на чужой кусок земли. Конечно, и от старого ельника пошла молодая поросль к реке, но ей трудно бороться с густыми зарослями осины и березы. Издали так и кажется, что сошлись две неприятельских армии, и можно определить даже линию самой сильной схватки, где дело пошло врукопашную: молодые ели и березки

совсем перемешались и задорно напирают друг на друга.

Эта картина борьбы за существование усложнялась здесь еще рекой — по ее берегам пришли сюда такие лесные породы, которые и существуют на свете как-то так, между прочим, не имея определенного места жительства. Верба, ольха, смородина, черемуха и кусты жимолости забежали сюда только потому, что настоящих хозяев не было дома, а когда они вернутся — незваные гости будут выгнаны самым безжалостным образом. Даже по самой посадке видно, что эти пришлецы явились сюда только на время: кто присел у самой воды, кто распушился около пня, кто торопливо сосет корнями жалкий клочок хорошей земли. Видно, что все это делается как-то зря, на скорую руку, да и не стоит серьезно хлопотать, потому что пройдет каких-нибудь десять лет — и вся порубь зарастет ровным, крепким березняком, а все эти ольхи, вербы и прочая лесная мелочь уйдут искать нового места; по лесным опушкам, по мокрым лужкам настоящее место этих бродяг, а не в настоящем лесу, где идет вечная борьба между

елями и березами. То же вот будет и с малиной, и с иван-чаем, и с теми сорными травами, которые разрослись на запустевшем жилье, — на их месте разрастается настоящая лесная трава и лесные цветы. А через несколько десятков лет ельник победит березу, и вы не узнаете даже места, где была когда-то порубь... Так совершается эта растительная жизнь, полная неустанной, вечной работы, и тот сказочный мир, где деревья говорят, ходят, радуются и плачут, — совсем не выдумка, а действительность, только нужно уметь понять мудреный язык этой немой природы.

Сидя на свалке, я совсем забыл об охоте. Мысли так и роились в голове, а вместе с тем душой овладело какое-то необыкновенно хорошее и доброе чувство, точно начинаешь жить снова. Не помню, какой-то автор сравнил вечный говор моря с тем шепотом, каким русские бабы заговаривают кровь; по-моему, это сравнение идет больше к лесу... Именно здесь, в лесу, вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни.

Из этого забытья меня вывел голос Фомича, который умел подходить совершенно неслышными шагами, точно кошка.

— Что, хорошо? — спрашивал он, взбираясь тоже на свалку. — Параша умаялась и легла отдохнуть, а я не утерпел и побежал с ружьишком.

Заслонив глаза от солнца, Фомич долго всматривался в заросший прииск и задумчиво проговорил:

— Всю землю изрыли, как свиньи... А ничего, зарастет. Каждая травка свое место знает... да! Вон у меня через Размет сибирская травка в Расею перебирается. Ей-богу... Все по речке шла в гору-то, а теперь уж перевалила и под гору пошла. Вот она, премудрость-то, в чем... Мы вот умеем только рубить да ломать, а она, трава-то, тоже поди чувствует по-своему: в ней тоже душа.

— И еще другая премудрость есть, — продолжал этот пантеист, вынимая табакерку: — зашел ты в лес — для тебя мертво все... И трава, и лес, и кусты — все мертво. Так я говорю? А это так кажется, потому что все со страхом затаилось от тебя — и козявка, и птица, и зве-

рушка всякая. Ты, как чума, идешь по лесу-то... да! А вот, если ты этак где-нибудь затихнешь, — все и покажется, со всех сторон подымется разное живье. И у всякой-то твари свой уголок есть, и у всякой твари свой порядок, и все на своем месте. Даже это удивительно; что столько в лесу разного живья. Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка, мушка, и ящерица, и птица... Всякому свой предел. Так-то... А вот человеку некуда деваться. Зачем?..

Этот странный разговор о захватывающей полноте непосредственной жизни природы открывал целое миросозерцание, гармоническое и цельное, которое всего труднее было бы подозревать именно в этом жалком дьячке, «последней спице в колеснице», как он сам называл себя. Помню, какое сильное впечатление он произвел на меня именно этой цельностью. Великая жизнь природы раскрывалась в подавляющем величии, оттеняя все прорехи и зло специально человеческого существования; Фомич в этот момент являлся прозорливым поэтом, сливавшим свою мысль с дыханием самой жизни.

— А Параша-то сама ведь пришла в лес... — заговорил Фомич после долгой паузы, встряхнув головой. — И совсем другая в лесу-то, точно не она. Чувствует тоже... И говорит по-настоящему, точно вправду умная. Как-то вечерком сидим у огня, гляжу, она плачет. Закрылась руками и плачет. «О чем, говорю, ревешь?» — «А так, говорит, стыдно мне...» Это она, значит, про то, как «Косарей» распевает да подол поднимает на голову, когда ее ребятишки женихами дразнят. Вот он какой, лес-то... Только не говорит, — да нет: говорит, свое говорит!..

Озорник

I

Спирька сидел у окна своей избушки, смотрел в сторону башкирской деревни Кульмяковой и думал вслух:

— И отчего бы это дыму идти у башкир, а?.. Вот так штука... Не иначе, што где-нибудь барана скрали, а то и цельную лошадь. Верно!.. Ах, неумытые рыла!

Он заслонил рукой глаза от весеннего горячего солнца и еще раз убедился, что действительно над Кульмяковой, засевшей под горкой на берегу озера Карагай-Куль, тоненькою струйкой поднимается синий дымок. В следующий момент Спирька выругался, — выругался вообще, в пространство. Ему почему-то показалось обидным, что башкиры могут есть, а он должен смотреть, как у них дым идет.

— Ах, черти немаканые, удумали какую штуку!..

По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное настроение. Им овладевала смутная тоска и неопределенное желание вы-

кинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно. «А ты чувствуй, ежели на то пошло... да. Понимай своей башкой, каков есть человек Спирька... да». Мысли Спирьки перекатывались в его голове, как тяжелые камни, когда заиграет по косогорам вешняя полая вода. Озлобленное настроение объяснялось, может быть, тем, что Спирька после смерти жены жил бобылем. Он давно разорил все хозяйство, — какое же хозяйство без бабы? — и не принимал весной никакого участия в трудовой и радостной суете своей деревни Расстани. Другие пахали и сеяли, бабы готовили свои огороды, старики налаживали всякую снасть к страде; а Спирька сидел в своей избушке и ничего не хотел знать. Из всей скотины у него была одна гнедая лошадь, происхождение которой терялось во мраке неизвестности, — другими словами, все были уверены, что она краденая. Лошадь была бы совсем хорошая, если б ее кормить, но Спирька к последнему относился совершенно равнодушно. Вон башкиры тоже не кормят лошадей, а живут... В свое оправдание, впрочем, он мог сказать то, что реши-

тельно не знал, чем бывал сыт сам. Будет день — будет хлеб. А без лошади какой же мужик? Это было последнее воспоминание о хозяйственном существовании, как когда-то жил Спирька женатым и когда у него все было. Не хуже других-прочих жил, а с женой ушло и все крестьянское хозяйство, и Спирька попал в разряд лишних деревенских людей, которых на Руси достаточно. Вот и скучно делалось непутевому человеку, когда занималась весна.

— Беспременно башкиры собираются есть, — повторял Спирька с нараставшим озлоблением. — Ну и нар-родец!

Окончательно Спирька был выведен из себя, когда в конце грязной, еще не просохшей улицы показалась Дунька. Он ее узнал сразу еще издали. Некому быть, кроме Дуньки... Вон как выступает, точно корова холмогорская.

— Куда бы ей идти утром, — соображал вслух Спирька. — Гладкая баба, нечего сказать.

Спирька еще раз выругался, теперь уже по адресу Дуньки.

— Ну куда ее черт несет? Ишь как по грязи-то вышлепывает.

А Дунька себе шла и, кажется, не желала ничего знать. По костюму в ней сразу можно было узнать расейскую бабу-переселенку. Белая рубаха с широко вырезанным воротом, домашней работы черная юбка, на плечи накинута белая свитка из домашнего сукна, платок на голове намотан тоже по-расейски, — одним словом, все по-своему. Красивое женское лицо было полно какого-то подкупающего спокойствия. Ни одного суетливого движения, ни одного лишнего взгляда.

— Куда это тебя понесло, Дунька? — окликнул ее Спирька.

Дунька вздрогнула и остановилась. На Спирьку посмотрели чудные, серые, большие глаза.

— А иду… — ответила она спокойно.

— Да куда идешь-то, глупая?

— А телушку искать.

— Ужо вот тебя волки задерут в лесу-то.

— Пущай дерут.

Дунька говорила певучим расейским говором, растягивая слова.

— А ты все отдыхаешь, Спирька? — проговорила она, подбирая юбку, чтобы перешагнуть через лужу. — Замаялся, лежавши на печи...

— А тебе какая печаль?

— Пожалела тебя... Другие мужики на пашне, а ты дома маешься. Пожалел бы хоть подоконник-то, лежебок.

Спирька обругал Дуньку и даже погрозил ей кулаком. Она спокойно пошла дальше, и Спирька долго следил за ее белыми босыми ногами, месившими грязь.

— Тьфу, окаянная душа!.. — ругался Спирька. — Бить вас некому, бабенок... За телушкой пошла?! Тьфу! Я бы тебе показал телушку... Я бы тебя разуважил, гладкую!.. Тоже разговаривает... Лежебок! Ну, и буду лежать... Не укажешь. Кто может Спирьке препятствовать? Ни в жисть...

В результате этого монолога Спирька схватил подвернувшийся под руку топор и швырнул его в угол.

А дым над башкирской деревней продолжал подниматься тоненькой синею струйкой, точно кто курил трубку. Спирька опять занял-

ся вопросом, что это могло значить. Во всяком случае, нужно было идти и обследовать все дело на месте. Спирьке даже начинало казаться, что как будто пахло вкусной маханиной[264]. Потихоньку от своих Спирька любил поесть кобылятины с башкирами. Что же, такие же люди, хоть и живут по своему закону. Другой башкир получше будет русского, даром что кобылятник.

— Нечего делать, надо будет идти... — решил наконец Спирька.

Он накинул на одно плечо рваный татарский бешмет и вышел. До Кульмяковой было битых версты три, но расстояние для Спирьки не служило препятствием. Впрочем, выходя, он посмотрел на пустой двор, напрасно отыскивая своего «живота» — способнее бы верхом в Кульмякову-то прокатить! — но умудренный голодом конь «воспитывался» где-то на весенних зеленях. Обругав лукавого «живота», Спирька побрел пешком. Ему пришлось идти по той же дороге, по которой только что прошла Дунька, и это казалось Спирьке обидным. Чего уж хорошего, когда баба дорогу перешла.

— Ах, ты... — ругался Спирька. — Не стало ей время.

Он шагал по грязи, закинув бешмет на спину. Небольшого роста, плечистый и жилистый, Спирька был в самой поре. Кудлатая голова глядела суровыми темными глазами. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явными признаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил он не по-расейски на своих выгнутых ногах, как настоящий кавалерист. На Южном Урале попадаются часто такие типы, как результат далекого умыканья первыми русскими насельниками татарских «женок» из недалекой степи. Народ собрался сюда со всех сторон, и недостаток в своей бабе чувствовался долго.

Весеннее солнце так и пригревало, несмотря на раннее утро. «Зелени» взялись необыкновенно дружно, и только березы стояли еще голыми. По низинам пушилась верба. Открытые места, где шли пашни и покосы, тянулись по долине реки Чигодой, делавшей расширение у озера Карагай-Куль. Горизонт замыкала разорванная линия перепутавшихся между

собой отрогов Южного Урала. Башкирская деревушка Кульмякова засела на берегу озера, прикрытая со стороны Расстани березовым лесом. Русская стройка была плотная, и ряды изб стояли, как новые зубы. За Расстанью, в полуверсте, раскинулась Ольховка, где лет пять тому назад устроились переселенцы, выходцы из Рязанской и Тамбовской губерний. Тут наполовину новые избы стояли еще без крыш, надворные постройки были еще в зародыше, а кое-где сохранялись еще переселенческие землянки, напоминавшие кротовые норы. Дунька была из Ольховки.

Дорога из Расстани в Кульмякову огибала березовый лес, и Спирька не пошел по ней, не желая вязнуть в грязи. Он не торопясь брел по меже прямо к лесу — так было прямее. Тут ему вышла неприятность: попались два расстанских мужика, ехавших с сохами.

— Бог на помощь, Спирька! — крикнул один. — Куда наклался спозаранку?.. Смотри, вывихаешь ноги-то.

Односельчане относились к Спирьке свысока, как к замотавшемуся, непутевому мужику, и это его злило.

— Челдоны желторылые… — ворчал он.

II

Главная неприятность ожидала Спирьку именно в лесу. Не успел он сделать несколько шагов, как увидел Дуньку. Она шла прямо на него, помахивая длинной хворостиной. Спирька остановился, посмотрел на нее и плюнул.

— Тьфу, окаянная!..

Дунька тоже остановилась. Эта неожиданная встреча тоже поразила ее не особенно приятно. Беспутный Спирька и без того не давал ей проходу и при каждой встрече считал своим долгом обругать. А тут, в лесу, с глазу на глаз — кто знает, что у него на уме, у шалого. Еще как раз наозорничает… Ей хотелось убежать, но было как-то совестно. Он тоже совестился свернуть в сторону. Какой же мужик, который бабы испугался. После Дунька же и осмеет при всем народе. Баба бойкая и за словом в карман не полезет.

— Ну, чего ты стоишь, как березовый пень? — сурово проговорил Спирька.

— А тебе какое дело?.. Иди своей дорогой…

— И пойду. Тоже не укажешь…

Он сделал несколько шагов. Дунька продолжала стоять. Спирька опять остановился.

— Послушай, Дунька, кабы я был твой муж, я бы взял орясину да орясиной тебя. Разе теперь по лесу телок ищут? Ах, ты... Скотина вся на зеленях воспитывается.

— А ежели я была на зеленях! Умен тоже...

— Все-таки ты круглая дура, Дунька. Зачем по лесу шляешься?

— Ближе лесом-то... Да што ты пристал ко мне, смола? Сказано: иди своей дорогой.

— И пойду... Думаешь, испугался? Тоже не укажешь, чертова кукла... У! взял бы да так взвеселил...

Он прошел в двух шагах от нее, а потом опять остановился. Дунька шла своей дорогой, не оглядываясь.

— Дунька... постой... — крикнул он изменившимся голосом, точно кто сдавил ему горло. — Словечко надо тебе одно сказать...

Дунька, не оглядываясь, вдруг бросилась бежать. Это выражение бабьего страха окончательно вышибло Спирьку из ума. Он догнал ее в несколько прыжков и схватил за руку.

— Не замай... Спирька, да ты в уме ли?

— Постой, говорят... Што ты дуром-то бросилась бежать? Не разбойник ведь...

— Отпусти, говорят!..

— А не пущу...

Он тяжело дышал... Она смотрела на него испуганными глазами и сделалась еще красивее.

— Дунька... Дуня... Зачем ты постоянно сердишься на меня?

— А зачем ты постоянно меня ругаешь? Проходу от тебя нет, от непутевого...

— Я ругаю? — удивился Спирька, выпуская ее руку: — Вот опять ты и вышла круглая дура... Как есть ничего не понимаешь!.. Да я... ах, боже мой!.. Да я, кажется... Што я, зверь я, што ли, лесной? Изверг?

— Известно, каков человек. Недалеко ушел от разбойника-то, коли чужих баб в лесу останавливаешь.

— А ты была у меня на уме, кикимора? А, была?..

Спирька опять озлился, а потом прибавил сдавленным голосом:

— Всех вас взять, Новожилов, так вы паль-

ца одного Спирьки не стоите... Поняла? Вот каков есть человек Спирька...

— Уж очень ты дорожишься... Прощай.

Она хотела уйти, но он опять удержал ее.

— Спирька, не замай!.. Вот ужо скажу мужу...

— Мужу? Ха-ха... Испугала до смерти. Да я из твоего мужа и крупы и муки намелю. Слышала? А я к тебе с добром, Дуня...

Она опять со страхом посмотрела на него.

— Ну?

— Ты вот говоришь, что я тебя все ругаю, ну... А что у меня на уме... сердце горит... Кажется, взял бы да пополам и разорвал тебя: на, не доставайся никому... И себя порешить... Ничего, значит, не надо...

Эти несвязные слова окончательно перепугали Дуньку, и она вся затряслась.

— Спирька, шалый, кому ты выговариваешь такие-то слова? Забыл, что я мужняя жена?.. Вот я свекру ужо пожалуюсь, так ён тебя выучит...

— Свекру?

У Спирьки помутилось в голове, точно у быка, которого ударили по лбу обухом. Он по-

смотрел на Дуньку воспаленными дикими глазами и схватил в охапку.

— Свекру, а?.. Мужу, а?.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Я же тебе покажу.

Она как-то жалко пискнула в железных объятиях Спирьки и начала отчаянно защищаться. Борьба происходила с молчаливым ожесточением. У Дуньки свалился платок с головы и рассыпались косы из-под сбившегося повойника. Это ничтожное обстоятельство привело в себя Спирьку. Дунька воспользовалась мгновеньем, вырвалась и заорала благим матом. Спирька бросился было за ней, но увидал издали ехавших по пашне деревенских мужиков.

— Дунька!.. — крикнул он вслед, грозя кулаком. — Ведь ты душу из меня вынула, змея подколодная!

Дунька остановилась на опушке, чтобы привести в порядок свой костюм, а главное — волосы. Спирька только сейчас сообразил, как все вышло безобразно. Ехавшие по пашне мужики слышали женский крик, а тут выскочила, как полоумная, Дунька. Нехорошо, главное, было то, что она была простоволосая, что

для мужней жены величайший позор. Но Спирька ошибся. Дунька вовремя сообразила все и спряталась за деревьями, так что мужики не могли ее разглядеть.

— Вот тебе и фунт, — проговорил Спирька, окончательно падая духом: на земле валялся в качестве вещественного доказательства Дунькин платок. — Эй, Дунька, воротись! Возьми платок-то, дура...

Она обернулась и только покачала головой. Дело выходило совсем плохо. Простоволосить мужних жен не полагается по строгому деревенскому обычаю.

Спирька долго стоял на одном месте, провожая глазами уходившую Дуньку. Вот она делается все меньше и меньше, вот совсем маленькая, вот и совсем разобрать ничего нельзя, а только белеет одна свитка. Наконец все пропало. Спирька чувствовал, как тяжело бьется его сердце, слышал, как ласково шумят над его головой еще голые березы, точно что выговаривают, видел, как солнце бродит по сырой земле золотыми пятнами, точно что отыскивает... И опять на его душе закипела обида, и ему хотелось плакать. Да, теперь уж

все кончено. Придет Дунька домой без платка и все обскажет мужу, — нет, хуже, нажалуется свекру. Муж-то еще стерпит и не захочет срамить жену, а свекор ухватится обеими руками. Старичонка бедовый, ему это только и нужно. Спирька чувствовал, что вперед краснеет от будущего срама.

— А ежели Дунька не скажет никому? — думал он вслух. — И никто бы ничего не узнал.

Но эта мысль обрывается в самом начале, и Спирька окончательно погружается в бездну отчаяния.

— Дура она круглая... Одним словом, баба.

У Спирьки выступают на глазах слезы, и он сжимает кулаки. Надо было прямо задушить ее, Дуньку. Все одно, семь бед — один ответ. Разве он хотел ее обижать? Да он для нее не знаю что готов сделать... Ах, Дунька, Дунька, ежели бы ты не была дура! Ежели бы она хоть чуточку понимала, что у Спирьки делалось на душе. И опять ему хочется ее убить, чтобы хоть этим путем снять с души каменную гору.

Спирька поднял валявшийся на земле

Дунькин платок и спрятал его за пазуху. Вот через этот платок он и погибнет напрасно. Спирька побрел своей дорогой в Кульмякову, но не успел он сделать нескольких шагов, как его осенила мысль. Теперь ему сделалось ясно все, что он даже захохотал.

— Ведьма она, эта самая Дунька, — вот и конец делу. Конечно, ведьма вполне... Убить ее мало.

Припомнив разные подробности своего знакомства с Дунькой, Спирька убедился окончательно в своем предположении. Ведь с первого разу она оказала себя ведьмой, еще тогда, когда он встретил ее на дороге. Она и подвела всех.

— Ведьма... Вот как обошла. Конешно, платок у меня, а она все-таки заправская ведьма... Так и скажу: «Было дело, действительно, а Дунька — ведьма». Ее надо осиновым колом пришибить, а не то што разговоры разговаривать.

III

Дунька пришла в себя только у околицы. Она решила, что никому и ничего не скажет. Но беда была в том, что ее платок остался у

Спирьки. Вернуться домой без платка было невозможно. Первая свекровь заметит и подымет дым коромыслом. В этих расчетах она не пошла Расстанью, где ее видели в платке, а обошла деревню задами и в свою избу прошла огородами. На счастье, ее встретила одна младшая сноха Лукерья, глуповатая и несообразительная бабенка. Свекровь убиралась в избе и ничего не видела. Все вышло хорошо.

— Господь пронес... — думала про себя Дунька. — Этакий озорник этот Спирька. Вот как бы надо его поучить, чтобы не охальничал с мужними женами. Не стало своих девок в Расстани, или вон две солдатки живут.

Вечером ни с того ни с сего накинулся на нее свекор.

— Где телушка? — приставал старик. — Куда она ушла?

— Не знаю, батюшка.

Несмотря на покорство, Дуньке все-таки досталось. Старик побил ее для «прилику», а Дунька для «прилику» голосила, точно ее резали. Все это входило в распорядки строгой расейской семьи. Даже когда потерявшаяся

телушка вечером пришла сама домой, старик сердито кинул снохе:

— Вот скотина, а поумнее тебя будет. Свой дом знает.

День прошел, одним словом, как сотни и тысячи других деревенских дней. Все знали отлично, что так нужно. Переселенцы только «строились» на новых местах, и требовалась сугубая строгость. Батюшка-свекор постоянно указывал на Расстань, как пример не настоящего житья зазнавшихся сибиряков. Разве это правильная деревня? Разве это правильные мужики, а тем больше — бабы? На последних старик особенно нападал, потому что бабой дом держится, а сибирская баба не имеет настоящей острастки.

Муж Дуньки вернулся с пашни только вечером и сейчас же завалился после ужина спать. Намаялся человек за день, ну и отдохнуть надо. Дунька убралась и в избе с ребятами, и на дворе со скотиной и улеглась спать последней, как и следует снохе-большухе. Она сильно притомилась за день, но заснуть никак не могла. Ее взяло особенное ночное раздумье. Главное, Дуньку начала мучить со-

весть. Зачем она скрыла от всех давешнее? Ведь она ни в чем не виновата и все-таки скрыла. Раздумавшись, она припомнила, что ее платок остался в руках у Спирьки. А вдруг он где-нибудь напьется и вздумает похвастать. «Вот он, Дунькин-то платок!» Ведь тогда все мужики на нее остребенятся и как дохлую кошку разорвут, потому как это первый случай с расейской бабой, которая не умела себя соблюсти.

Чем больше думала Дунька, тем ей делалось хуже. Ей казалось, что кто-то уж крадется к ихней избе. Вот-вот подойдет и стукнет в окно пьяная рука: «Эй, Дунька, выходи... Вот он, твой-то платок!» Бедная баба тряслась в лихорадке и про себя творила молитву. Наконец она не вытерпела и разбудила мужа:

— Степан... а Степан!

Спросонья Степан очень плохо понял, что говорила жена. Буркнул что-то в ответ и снова захрапел, как зарезанный. Так и промаялась Дунька вплоть до белого утра. Батюшка-свекор поднимался чуть свет и бродил по двору, как домовой. Дунька смело подошла к нему и с бабьими причетами кинулась прямо

в ноги.

— Батюшка, Антон Максимыч, согрешила... Не вели казнить — прикажи слово вымолвить. Обманула я тебя вечор, раба последняя.

— Ну... говори!

Старик был спокоен и только пнул Дуньку ногой, чтобы не валялась.

— Ну, ну!

С причетами и рыданиями Дунька рассказала все, как вышло дело, и даже прибавила на свою голову. Еще заканчивая эту исповедь, Дунька как-то всем телом почувствовала, какую она сделала глупость, но было уже поздно. Свекор взял ее за руку, поставил к столбу и велел ждать. Через минуту он вынес новенький сыромятный чересседельник, скрутил его жгутом и принялся им бить Дуньку по плечам и по спине. На ее крик выбежала старуха свекровь.

— Ты это што, отец, делаешь-то? — накинулась она на мужа.

— Я-то? А мы разговоры разговариваем.

На шум и крик во дворе скоро собралась вся семья.

Степан пробовал было заступиться за жену, но в ответ получил от родителя удар кулаком по лицу. Старуха свекровь тоже впала в неистовство, когда услыхала про исчезнувший платок. Она несколько раз подскакивала к Дуньке с кулаками и шипела беззубым ртом:

— Подавай платок... где платок? Гадина, давай платок... Степка, ты чего смотришь? Учи жену.

Степану было жаль жены, но он в угоду матери ударил ее по лицу несколько раз. Дунька стояла на одном месте и смотрела на всех округлившимися от страха глазами. Она никак не ждала такого исхода своей исповеди.

— По какой такой причине Спирька к тебе приставал? — наступал на нее свекор. — Мало ли баб в Расстани и в Ольховке, — других он не трогает небойсь. Сама виновата, подлая... может, сама подманивала его.

Дунька молчала. Это еще больше злило старика, и он снова принимался ее бить чересседельником, так что на рубашке показалась кровь.

— Бей ее! — приказывал старик сыну, пе-

редавая Степану чересседельник. — Муж должон учить жену.

Подогретый науськиваньями матери, Степан поусердствовал. Он остервенился до того, что принялся таскать Дуньку за волосы и топтать ее ногами.

— Так... так... — тоном специалиста одобрял свекор, с невозмутимым спокойствием наблюдавший эту сцену. — Пусть чувствует, какой такой муж бывает.

От дальнейших побоев Дуньку спасло только беспамятство, хотя свекровь и уверяла, что «ёна» притворяется порченой. Избитая Дунька очнулась только благодаря снохе Лукерье, которая спрыснула ее холодной водой. Старики ушли, и Лукерья шепотом причитала:

— Ох, смертынька, Дунюшка. Ведь этак-то живого человека и убить можно до смерти.

— Молчи уже лучше, а то и тебе достанется... — посоветовала Дунька, вытирая окровавленное лицо. — Дуры мы, вот што.

— Степан-то как расстервенился. А матушка-свекровушка еще его же науськивает.

Дунька молчала. У нее болело все тело,

каждая косточка. В избу она не пошла, а попросила Лукерью принести к ней полугодового ребенка. Это был здоровенький мальчик Тишка, родившийся уже на Урале. Его в семье называли «новиком».

— Этот уже не наш расейский... — с грустью говорил дедушка. — И не узнает, какая такая Расея есть. Желторотым сибиряком будет расти.

Над маленьким Тишкой избитая Дунька и выплакала все свои дешевые бабьи слезы.

Обиднее всего для Дуньки было то, что при всем желании она не могла пожаловаться на свою семью, хотя и выходила замуж круглою сиротой. Семья была настоящая, строгая, мужики работящие, а свекор пользовался особенным почетом в Ольховке, потому что он вывел всех на Урал, на вольную башкирскую землю. Около него сплачивались все остальные мужики, и старик стоял всегда в голове Новожилов. Проявленное над Дунькой семейное зверство, в сущности, ничего особенного не представляло, как самое заурядное проявление родительской и мужниной власти. Вот вырастет Тишка большой, женится и тоже бу-

дет учить жену. Это было для Дуньки чем-то вроде утешения. Ведь в свое время и она будет лютой свекровью-матушкой.

В следующие дни в семье наступило тяжелое затишье. Степану, очевидно, было совестно, и он молча ухаживал за женой, скрывая последнее от грозного батюшки. Впрочем, старик, кажется, забыл о Дуньке. Он замышлял что-то новое. Дунька со страхом следила за ним. Очевидно, старик подбирался к Спирьке и подбивал других Новожилов действовать заодно.

— Растерзают они его... — со страхом говорила Дунька снохе Лукерье.

— Так и надо озорнику! Не балуй... Ты-то что его жалеешь?

— А сама не знаю... Просто дура. Спирька недаром меня дурой-то навеличивает.

IV

Спирька пропадал в Кульмяковой дня два, а потом появился в окне своей избушки. Он по целым часам лежал на подоконнике и смотрел на улицу. По некоторым признакам он имел полное основание догадываться, что дело неладно. Во-первых, мимо его избушки

без всякой цели прошли три бабы и рассчитано громким голосом говорили:

— Ох, бабоньки, и били же ее, сердечную... Сперва свекор утюжил, а потом муж по тому же месту. В чем душа осталась... Сказывают, пластом лежит.

— Чуть до смерти не заколотили бабенку. А какая такая в ней вина? Все он, змей...

Затем Спирька заметил, что около ворот собираются мужики и о чем-то толкуют между собой. Ему казалось, что несколько раз прямо указывали на его избушку. Наконец, он видел, что приходили ольховские мужики и о чем-то долго толковали с расстанскими. До него долетали только отдельные слова: «ён», «ёна», «озорник» и т. д. Вообще, заваривалась каша, и Спирька только крутил головой. На всякий случай он приготовился дать с первого раза сильный отпор: «А ежели она ведьма, ваша Дунька?.. Ну-ка поговорите теперь со мной... Прямо ведьма. Она и на вас на всех сухоту напустит...»

Не раз случалось Спирьке выдерживать напор всего деревенского мира, и он, собственно, был спокоен. Ведьма — и все тут. Уж

ежели кому отвечать, так им же, новожилам, зачем «ведьмов» разводят.

— Ну, ну, идите сюды! — кричал Спирька в окно. — Я вам поккажу... Я вас произведу!..

Правда, эта храбрость Спирьки сильно уменьшилась, когда он раз заметил в толпе мужиков старика Антона. Этот не испугается. Самый вредный старичонка, ежели разобрать, цеплястый, как клещ вопьется.

Дело вышло ранним утром, когда Спирька еще спал. Под окном его избушки показался волостной.

— Эй, ты, лежебок, дай отдохнуть печке-то...

Спирька выглянул в окно. Перед избой толпилась целая кучка переминавшихся мужиков.

— Вам чего, галманы? — дерзко спросил Спирька.

— А надо с тобой поговорить, хороший ты человек. Выходи ужо на улицу...

— А думашь, не выйду? И выйду... Сдел милость. Тоже, подумаешь, испугали...

— И выходи, приятный ты человек...

— Да платок-то Дунькин захвати, — приба-

вил голос из толпы. — В дружках не был, чтобы чужие платки брать...

В ответ из окна полетел скомканный Дунькин платок. Спирька накинул свой армяк и храбро вышел за ворота, где его сейчас же и подхватил под руку волостной.

— Вот так, Спирька... Честь завсегда лучше бесчестья, приятный ты человек. Чего тут бояться добрых людей... Просто, значит, волостные старички хотят с тобой разговор поговорить.

— Дураки ваши волостные старички, — огрызнулся Спирька.

Спирька понял, что его ожидает, и всю дорогу ругался самым отчаянным образом. Около волости его поджидала уже целая толпа, состоявшая из старожилов и Новожилов. Спирька струсил, когда увидел в толпе худенькое лицо старичка Антона.

— Ён самый... озорник... — перешептывались в толпе, когда Спирьку вводили на крыльцо волостного правления.

В волости уже дожидались волостные старички, в руках которых сейчас была судьба Спирьки. Однако он не потерялся (слава богу,

не впервой было судиться у старичков!) и довольно развязно проговорил:

— Старичкам почтение...

Старички сидели хмурые, как следует быть ареопагу, и ничего не ответили. Волостной предъявил им Дунькин платок в качестве corpus delicti[265]. Изба скоро набилась народом. Слышно было тяжелое дыхание и угнетенные вздохи.

— Спирька, а што ты скажешь насчет Дунькина платка? — предложил вопрос старшина, не прибегая к предисловиям.

— Платок? — замялся Спирька и прибавил уже бойко: — И очень просто, господа старички... Эта самая Дунька просто ведьма. Да... Присушку мне сделала, не иначе.

Старички переглянулись, и старшина ответил за всех:

— Так, так, приятный человек... А мы, значит, эту самую Дунькину присушку тебе отмочим, штобы вперед не повадно было охальничать. Так я говорю, старички? Ну, Спирька, показывай все на совесть...

— Нечего мне и показывать... Дело известное. Ежели бы я был женатый, так оно тово...

поиграл малость с бабенкой, а она себя и оказала ведьмой. Мне бы раньше об этом самом догадаться... А что касается платка, так это самое дело прямо наплевать.

— Прыток ты на словах, приятный человек... Только напрасно путляешь, говори настоящее.

При всем желании сказать что-нибудь настоящее Спирька только развел руками. Старички переглянулись и сделали знак каморнику. Толпа молча расступилась, и пред стариками очутилась Дунька, бледная, испуганная, со свежими синяками на лице. Она комом повалилась в ноги судьям и заголосила:

— Ничего я не знаю, господа старички... Не взыщите на дуре-бабе. Как есть ничего...

— Врет ёна... — послышался спокойный голос свекра. — Дунька, показывай все...

— Твой платок, Дунька?

— Конешно, мой... ён самый и есть.

— Ты телушку пошла искать?

Благодаря этим наводящим вопросам, Дунька рассказала по порядку все происшествие. Новожилы были довольны этим показанием, а старожилы были смущены Спирь-

киным озорством. Тоже не полагается простоволосить мужних-то жен... Спирька слушал, переминаясь с ноги на ногу, и только проворчал, когда Дунька сказала, что он чуть ее не задушил:

— И надо было задавить... Вас, ведьмов, нечего жалеть, ежели вы присушку делаете.

Обстоятельства дела были ясны для всех. Обвиняемый в свое оправдание решительно ничего не мог сказать и только твердил, что Дунька — ведьма.

— А хоша бы и ведьма, — заметил резонно один старичок: — и с ведьмов платки-то не полагается рвать. А ты вот того, озорник, не понимаешь, что всю деревню острамил... Што теперь новожилы-то про нас будут говорить?

Выдвинулся самый больной вопрос о розни между Расстанью и Ольховкой. Новожилы являлись потерпевшей стороной, и требовалось возмездие, чтобы восстановить честь и доброе имя старожилов. Спирька являлся своего рода козлом отпущения. Старожилы на нем как будто делали невольную уступку и косвенно признавали права Новожилов. Спирькой замирялись вперед поводы к вза-

имным недоразумениям, и волостные старички, как опытные политики, отлично это понимали, как понимал и Спирька, которого выдали головой. Мир от него отступался.

— Ну, приятный человек, што мы теперь с тобой будем делать? — заговорил старшина. — Своим-то озорством ты вот до чего всех довел...

— Поучить его надо, змея, господа старички, — вступился свекор Дуньки.

— А ты помолчи, дедко... — остановили его судьи, сохраняя собственное достоинство. — Мы дело ведем на совесть... Ну, Спирька, што мы с тобой должны делать теперь?

В судьях было еще некоторое колебание, но Спирька сам себя предал — вместо ответа взял и плюнул. Он до конца остался озорником, и участь его была решена по безмолвному соглашению. Для видимости старички пошептались между собой, а потом старшина проговорил:

— Нечего делать, приятный человек... Довел ты нас донельзя... Дядя Петра, и ты, Ларивон...

Когда Спирька возвращался домой, ребя-

тишки показывали ему язык и кричали:

— Драный-сеченый!..

Спирька только встряхивал волосами, но не смущался. Как это господа старички поддались этой ведьме — даже удивительно. Вот до чего их довела Дунька... Дерут живого человека и думают, что сами это придумали. А новожилы-то чему обрадовались?

V

Только вернувшись в свою избушку, Спирька в первый раз почувствовал приступ жгучего стыда. Вот в этих самых стенах жил он справным мужиком, пока не померла жена, а теперь... Спирька забрался в темный угол на полатях и пролежал там до ночи, снедаемый немым отчаянием. Он тысячу раз повторял про себя все случившееся и приходил к одному и тому же заключению, что во всем виновата Дунька, и она одна. Как ведь ловко она с первого разу обошла его — никто и не заметил!

Припомнился Спирьке жаркий летний день. Он ехал откуда-то с помочи, пьяный свалился с лошади и тут же заснул в зеленой душистой траве. Лошадь наелась около него.

Потом Спирьке показалось, что кто-то тащит у него из-за пояса ременный чумбур[266], на котором привязана была лошадь.

— Стой!.. Врешь... убью! — заорал Спирька, напрасно стараясь подняться на ноги. — Эй, не подходи!..

— Ну, слава богу, живой, — проговорил над ним участливый женский голос. — А мы думали, што ты расшибся али убитой.

Это и была Дунька. Она шла с свекром впереди переселенческого обоза. Старик Антон спутал какую-то повертку и обратился к Спирьке:

— Мил-друг, как нам проехать на Томск?

— На Томск? Ха-ха... Да ведь до Томска-то тыщи две верстов будет. Ах, ты, старый черт... Может, тыщи дорог на Томск идут: любую-лучшую выбирай. Да вы кто такие будете? Переселенцы?

— Около этого, мил-человек... Рязанские, значит, Рязанской губернии, вообче, значит, выходит, расейские.

— Та-ак... — соображал Спирька. — А я думал — конокрады.

Пока шел этот разговор, Дунька стояла и с

жалостью смотрела на Спирьку. Этакий здоровый мужик, а морда в грязи, рубаха испластана, — она не стерпела и проговорила:

— А ты бы рожу-то себе вымыл, да и рубаху надо починить... Видно, нету жены-то?..

Ах, как она хорошо все это сказала... Спирька и теперь точно слышит этот ласковый бабий голос и видит жалостливые бабьи глаза. Ведь вот поди ты, сразу угадала все... И хорошо Спирьке сделалось, и стыдно, а Дунька смотрит на него так прямо и так просто.

Старик еще что-то расспрашивал, а потом подошел переселенческий обоз. Уж только и народ... Притомились все за дорогу-то, обносились, затощали — смотреть жаль. А видно, что народ все хороший, правильный народ, не чета сибирскому. Этакому-то народу дайка вольную сибирскую землю, так работа огнем загорит. И бабы все хорошие, хотя и в лаптях.

Когда обоз уже прошел, Спирька заметил, что Дунька оглянулась на него. Эти большие серые глаза точно позвали его. Спирька сел на лошадь, догнал обоз и обратился к старику:

— Ты, видно, дедко, ходоком будешь?

— Ён самый.

— Словечко я тебе одно скажу, дедко... Эх, дорогое словечко, а вся цена — полуштоф водки.

Обоз остановился. Около Спирьки собрались мужики.

— Куда в Томскую губернию тащитесь? — заговорил Спирька, мотаясь в седле. — Экую даль тащиться, да это помереть.

— Нужда, мил-человек, гонит... Не сами идем. Нужда устигла...

— Эх, вы...

Спирька обругался, а потом прибавил:

— Вот что я вам скажу, расейские мужички... Сделаем дельце так: вы мне выставите, например, полуштоф водки, а я, например, отведу вам тыщу десятин вольной земли. На, пользуйся да поминай Спирьку... Все будете благодарить, а у которых ежели есть дети, так и дети будут чувствовать, каков есть человек Спирька.

Переселенцы выслушали и сначала не поверили Спирьке: пьяный человек зря болтает. Да и вид у него совсем шалый. Погалдели ра-

сейские лапотники, посмеялись над Спирькой и хотели идти дальше, но остановила всех Дунька:

— Полуштоф с миру пустое, а может, ён и в сам деле может определить...

Началась жестокая ряда. Спирька стоял на своем.

— Да ты скажи наперед, а потом мы тебе бочку этого проклятого вина укупим.

— Не могу, — артачился Спирька. — Самому дороже стоит, и притом у меня свой карахтер... Не хотите своей пользы понимать...

Старик Антон подумал-подумал и решил в свою голову:

— Вот што, мил-человек, так и быть: сделаю тебе уважение. Понимаешь, распоследнее отдаю.

Только теперь Спирька догадался, что такое решение старика Антона было внушено Дунькой. Дело ясно, как день... Она видела всех насквозь.

Водки в обозе, конечно, не оказалось, и пришлось ехать до первой деревни, где был кабак. Измученный жестоким похмельем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабац-

кой водки чуть не залпом, прямо из горлышка. Потом Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и заявил:

— Ну, дедко, твое счастье... Купил ты меня.

Они отошли в сторону, и Спирька действительно обсказал все на совесть.

— Вы, дедко, вот как сделайте... Тут есть Кульмяцкая башкирская волость, земли видимо-невидимо — понял? У них такое правило: башкиру-вотчиннику полагается тридцать десятин на душу, а башкиру-припущеннику[267] всего пятнадцать...

Голова старика Антона закачалась от удивления: всего пятнадцать десятин?..

— А дело не в этом, дедко, — объяснял дальше Спирька. — Башкирскую-то землю пьяный черт мерял после дождичка в четверг... Сколько этой земли — никто не знает. И еще есть причина: мрут эти башкиры, как мухи, а земля-то остается тоже. Понял?

— А ты не омманываешь?

— Ну, вот тоже скажет человек... Што мне тебя обманывать, когда у нас своя деревня стоит на башкирской земле. Пришли и осели... Пятьдесят лет теперь судимся с башкира-

ми, и никакое начальство ничего разобрать не может. По-моему, этой самой земли и вам хватит, да еще от вас останется... Понял? Значит, башкирская деревня Кульмякова — понял? Мы уж к ней приспособились, ну, а вы к нашей деревне приспособляйтесь.

— Как же это на чужую землю возможно.

— Ах ты, ежовая голова: сказано — земля ничья, божья, значит. Ничего не известно, кому и что следствует... Я тебя и научу, дедко, как наших расстанских мужиков обойти, только за это ты мне второй полуштоф потом выставишь. Ты приезжай завтра к нам в волость и сторгуй три десятины травы у волостных старичков, будто лошадей выправить... У нас трава по двугривенному с десятины... Ну, а как вас пустят, вы уж не зевайте: сейчас налаживайте и балаганы и землянки. Понял? А потом будто вы перезимовать только хотите... Так? А потом с кульмяцкими башкирами сговоритесь, будто вы у них эту самую землю покупаете... Да тут конца-края не будет, и никто ничего не разберет.

— Ну, и сказал ты словечко, мил-человек...

— А то как же? У нас, брат, в Сибири доб-

ром ничего не возьмешь... Божья земля-то. Понял? Так оно и пойдет год за годом, а там, глядишь, башкиры все вымрут, — ну, тогда с Расстанью и разделите землю пополам. Вот каков есть человек Спирька!

— Так, так...

— Да уж верно сказано.

Переселенцы так и сделали, как научил Спирька, и все вышло как по-писаному. Ходок Антон оказался большим мужицким дипломатом. Дело в том, что русская деревня Расстань не имела никакого права на существование и осела на чужой башкирской земле захватом. Башкиры судились с этими незваными насельниками много лет, но из этого ничего не выходило, потому что собственные права башкир тонули во мраке далекого прошлого. Когда-то, очень давно, они тоже пришли сюда и захватили чужую землю. Оставались права давности, вернее — права первого захвата. Появление новых насельников было на руку башкирам, сдавшим в долгосрочную аренду землю, принадлежавшую Расстани. Отсюда пошли нескончаемые споры и раздоры между двумя русскими деревнями, сопро-

вождаемые настоящими драками и рукопашной. Переселенцы удерживались только дипломатическим талантом ходока Антона, умевшего заговаривать зубы и рассчитывавшего на время.

Все это припомнил теперь Спирька и мог только удивляться черной неблагодарности переселенцев. Для него было ясно как день только одно, что не встреть он тогда переселенческого обоза, не был бы он драным. Вот до чего довела Дунька своим колдовством и его и других, с тою разницей, что он отлично понимал, в чем дело, а все другие точно ослепли.

— Благодетелем для них был, — размышлял Спирька в огорчении. — А они же своего благодетеля и отлупцевали... Нет, ты погоди, не таковский Спирька, чтобы живому мыши голову отъели.

VI

История Спирькиной любви была очень грустная, начиная с того, что он не знал даже самого слова — любовь. По его понятиям, это была присушка. Взяла хитрая баба и заколдовала. Дело тянулось целых пять лет. Спирька

часто бывал в Ольховке у переселенцев, но встречал Дуньку очень редко и то мельком. Их разговоры ограничивались взаимной перебранкой.

— Што ты на меня воззрился, как свинья на мертвого воробья? — спросит иногда Дунька.

— У, гладкая!.. — ответит Спирька и обругает.

Дунька жаловалась на озорника мужу, но Степан был смирный мужик и не обращал внимания. Известно, сибиряки отчаянные, удержу в них нет.

А у Спирьки с каждым годом сердце все больше и больше разгоралось. Он не мог дать себе отчета, что с ним делается, а только Дунька не выходила у него из головы. Разве можно было ее применить к другим бабам? Глянет, так точно огнем обожжет. На Спирьку нападала жестокая тоска, и он топил свое горе по кабакам. Пьяный он часто плакал и жаловался кабацким друзьям, что его испортила одна женщина. Прямо он не называл Дуньки, а только намекал, что она из переселенок.

— Как змея проползла... Вот какое дело! И

сплю и вижу ее...

Кабацкие приятели от души сочувствовали Спирькину горю, от искреннего сердца ругали его и советовали бить ведьму, которая такими делами занимается.

Но раньше Спирька еще сомневался, что Дунька была ведьма, и только теперь это сделалось ему ясным как день. И какая ведьма — издали приворожила. Другие ведьмы или накормят чем, или опоят человека, а эта одним глазом только поглядела, и Спирька готов. Даже сейчас, после расправы в волости, он не мог рассердиться на нее по-настоящему. Были мысли довольно жестокого характера, но они падали, как осенний сухой лист с дерева. По возвращении из волости Спирька решил про себя, что спалит двор у старика Антона, и эта мысль ему очень нравилась. Темная ветреная ночь... все спят... и вдруг над Ольховкой зарево, а через два часа хоть шаром покати. Для отвода глаз Спирька хотел притвориться больным и вылежать в избе с неделю. На, потом разбирай да ищи ветра в поле... Кто поджег — руки-ноги не оставил. Нехорошо было то, что расейская стройка дружная, изба к из-

бе, и вся деревня могла сгореть, как хороший костер. Не стоило из-за Дуньки по миру пускать столько народу. Другой способ — изводить Дуньку самому. Приехал к избе верхом, да и давай золотить ведьму всякими словами. Переселенские мужики смирные, все стерпят. Опять нехорошо...

Целых три дня думал Спирька, и ничего не выходило. Виноваты и свои расстанские, зачем выдали головой новоселам. Хорошо бы им красного петуха запустить, чтобы чувствовали вполне: «Надо вас, варнаков, учить... Простоваты вы, чтобы драть человека незнамо за што. Какой же это порядок? Сегодня одного отодрали, а завтра другого будете драть... А еще господа старички называются. От всего общества честь... Одной водки сколько вытрескают на сходах за мирской счет».

Но ни одному из этих жестоких планов Спирьки не суждено было осуществиться.

Раз, на самом брезгу, Спирька был разбужен стуком в окно.

— Эй ты, приятный человек...

— Кого там черт принес? — откликнулся Спирька с печи.

— А ты выглянь в окошко.

Спирька слез с печи и выглянул. Перед его избой стояла кучка ольховских новоселов с ходоком во главе.

— Чего вас носит, полуночников? — обругал Спирька.

— А ты выдь из избы-то. Разговор маленький есть.

— Знаю я ваши разговоры... Опять, что ли, драть?

— Зачем драть, приятный человек, а так для разговору слов. Ежели добром не выдешь, так сами в избу придем... Тебе же хуже будет, приятный человек.

Спирька некоторое время соображал, хотя выбирать было не из чего. Потом на него напало озлобление, и он смело пошел из избы. Но его схватили десятки дюжих рук, едва он переступил порог сеней.

— Получай, братцы... — обрадованно загалдели мужики. — Ён самый и есть озорник. Держи его крепче!..

В один момент Спирька был связан.

— А вот увидишь, приятный человек... Ребята, волоките озорника.

— Братцы...

Спирьку потащили посредине улицы, довольно невежливо подталкивая под бока. Он только кряхтел и по обыкновению ругался. Стояло самое раннее утро, так что не топилась еще ни одна изба. Окрестные горы были подернуты туманною дымкой. На топот десятков ног и глухой говор сопровождавшей Спирьку толпы кое-где в окнах показывались головы.

— Братцы, убивают! — кричал Спирька, когда замечал мужицкую голову. — Ох, убивают...

За эти возгласы ему действительно доставались дюжие тумаки, а потом чья-то корявая рука зажала Спирькин рот.

— Молчи, конокрад!

Последнее восклицание сделало все ясным. Спирька понял, зачем его волокут в Ольховку, и ему вперед представилась ужасная картина мужицкого самосуда. Он сам видал, как насмерть бьют конокрадов, и сам даже участвовал в жестоких расправах. Да, все было ясно как день, и даже Спирька ужаснулся, когда толпа свернула в переулок налево. Оче-

видно, новоселы не желали вести Спирьку через Расстань, чтобы не поднимать на ноги расстанских мужиков, которые могут заступиться за односельчанина. А у себя в Ольховке сделают, что хотят.

Спирьку потащили полем. Толчки делались сильнее. Кто-то ударил Спирьку по щеке. Дюжие мужицкие руки держали его, как в клещах. У Спирьки начала кружиться голова от страшной боли в левом плече, — очень уже поусердствовали скрутить ему руки за спиной.

Ольховка была вся на ногах, когда привели Спирьку. Его встретили озлобленные лица. Кто-то ругался, какая-то женщина причитала. Старуха, жена ходока Антона, так и вцепилась в Спирьку.

— Ён... ён самый!.. А я ему глаза повытыкаю, озорнику.

Обезумевшую от ярости старуху едва оттащили.

— Ох, разорил ён нас всех!.. — причитала она, — всю семью по миру пустил... Куды мы без лошадок? Страда наступит скоро, а мы как без рук... Снял с нас голову, озорник!..

— Это ён со злости, што тогда поучили за Дуньку в волости, — объяснял голос в толпе. — И лукав пес...

Спирьку затащили на двор к Антону и положили связанного на земле. Тащившие его мужики запыхались. На всех лицах была написана твердая решимость разделаться с конокрадом по-свойски, чтобы другим-прочим подобным озорникам вперед не было повадно. Спирька был осужден заранее, осужден целым крестьянским миром, и теперь оставались только маленькие формальности. Когда к нему подошел Степан и ткнул тяжелым мужицким сапогом прямо в лицо, так что брызнула кровь, его остановили.

— Не трошь, Степан... Теперь ён никуда не уйдет из наших рук.

Составился полевой суд. Вся задача заключалась в том, чтобы выпытать от Спирьки, куда он угнал лошадей. Степан, задыхаясь от волнения, в сотый раз рассказал, как они втроем караулили лошадей на зеленях и как их украли прямо у них из-под носу. В темноте воров не могли разглядеть.

— Ну, теперь твоя речь, — обратился ста-

рик Антон к Спирьке. — Доказывай, куда дел лошадей?

У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на спасение. Он ответил с дерзостью:

— Не меня надо бить, а ваших пастухов... Чего они-то глядели? Воров трое — и их трое.

Толпа немного смутилась. Каждое мгновение было дорого, и Спирька решил дорого продать свою грешную душу. Он обругал всех и смело заявил:

— Уж ежели на то пошло, так я один вам выворочу украденных коней... Дураки вы все!.. Где вас надо, так там вас и нет...

Эта смелая ругань произвела известное впечатление. Кругом виноватые люди не будут ругаться, особенно, когда смерть на носу.

— Я вам всем покажу, как надо на свете жить! — уже смело заговорил Спирька. — Спросите суседей, никуда я из избы с вечера не выходил... По насердкам[268] вы меня взяли. Говорю: один выворочу всех коней. Мне же в ноги потом будете кланяться, лапотники... Разве такие мужики бывают? Эх, вы... А Степке я сам обе скулы сворочу. Его надо бить-то, шалого.

VII

Неистовое поведение Спирьки сбило новоселов с толку. Ругавшиеся мужики замолчали, озлобление сменилось недоумением. Дунька, спрятавшаяся со страху в задней избе, думала, что уже все кончено. Она все время повторяла про себя:

— Ох, смертынька... Они его убьют!..

А тут вдруг галденье прекратилось. Она выбежала в сени и из-за косяка увидела удивительную картину. Батюшка-свекор своими руками развязал руки Спирьке и даже помог ему подняться на ноги. Вид у Спирьки был ужасный: рубаха разорвана в клочья, лицо в крови, на спине и плечах сине-багровые подтеки от ударов. Спирька постоял, точно оглушенный, повел плечами, точно пробовал, целы ли кости, а потом проговорил хриплым голосом:

— Дайте стаканчик водки...

В данный момент его больше всего смущала разорванная рубаха. В толпе были и бабы и девки, а он совсем голый. Спирька несколько раз тряхнул головой. Да, много раз его бивали и раньше, только рубаху не так рвали.

— На, непутевая голова, — говорил старик Антон, подавая Спирьке стакан водки. — Так лошадушек-то добудешь?

— Сказано: выворочу. Экие собаки, право, как рубаху-то истерзали... Места живого не осталось.

— Ну, рубаху мы тебе другую дадим... Дунька, сыщика ему какую ни на есть! — приказал Антон. — Так лошадок-то, Спирька, вызволишь? Ведь разор всему нашему дому...

Дунька разыскала старенькую мужнину рубаху и вынесла ее на двор. Спирька сурово повернулся к ней спиной. Дунька опять убежала в заднюю избу, чтобы никто не видел ее слез, — ведь из-за нее, дуры, чуть не убили Спирьку. И посмотреть-то теперь на него страшно: в крови весь, как баран, все тело пестрое от синяков, один глаз начал затекать. Поведение Спирьки еще больше убедило ее в собственной виновности, и Дунька не могла удержать слез. А тут еще матушка-свекровушка может увидеть, как она его жалеет, озорника, и может поедом съесть.

К себе, в Расстань, Спирька не пошел, а послал за своей гнедой лошадью. По пути велел

захватить пастуший рог и ременный аркан. Дунька видела, как он, обряженный в чужую рубаху, ястребом сел на свою лошадь, поднялся в седле и попросил еще стаканчик водки.

— Не поминайте лихом Спирьку! — крикнул он, пуская лошадь с места полной рысью.

Оставшиеся у ворот мужики несколько времени сумрачно молчали, а потом какой-то голос проговорил в толпе:

— Омманет Спирька-то... Еще его же и водкой напоили. Теперь ступай, лови его.

Старик Антон ничего не ответил на этот вызов. Два стакана водки не расчет, когда человек обещает коней воротить. Окромя его, некому и сделать так. Спирька по лошадиной части все знает и с завязанными глазами всю округу обыщет.

Спирька пропадал целых три дня. Время тянулось ужасно медленно. «Двор» старика Антона переживал самый критический момент. Какой «двор» без лошадиной силы, а новых лошадей разводить не на что. Получилось самое безвыходное положение, тем более, что дело шло к страде. Мужики угрюмо молчали, а бабы ходили с заплаканными гла-

зами. Теперь все благосостояние семьи зависело единственно от смелости отчаянного человека Спирьки. Но больше всех убивалась Дунька, убивалась молча, одна, затаив в себе целый рой чисто бабьих мыслей. О, она теперь выучилась молчать. С одной стороны, она, припоминая недавние побои, даже не желала, чтобы Спирька вернул назад украденных лошадей, — пусть зорится нелюбимая семья, а с другой — она так боялась за Спирьку. А вдруг он вернется с пустыми руками? Если его и не убьют, так сам навек себя осрамит. Дуньке до слез делалось жаль вот этого отчаянного Спирьку, когда она припоминала его поведение. Как он обругал Степана да всех других новоселов, — лежит связанный и ругает. Они-то навалились на одного человека всей деревней и убили бы наверно, ежели бы не отчаянность Спирьки. Эта смелость произвела на Дуньку неотразимое впечатление. Ведь это совсем не то, что бить беззащитную бабу, как ее били батюшка-свекор с мужем Степаном. Что-то такое новое зарождалось в душе Дуньки, что ее и пугало, и радовало, и заставляло плакать. Потихоньку она моли-

лась за успех Спирькиной экспедиции.

В Ольховке сильно сомневались относительно Спирьки и потихоньку судачили относительно старика Антона. Правильный старичок, а вот как дал маху... Обошел кругом озорной человек. Но этим пересудам был положен конец, когда на четвертый день ночью объявился Спирька. Он привел на своем аркане всех трех лошадей. Сонная семья выскочила вся на улицу и не верила собственным глазам.

— Да ты ли это, Спирька? — спрашивал Антон.

— Около того...

Когда Спирьке пришлось слезать с лошади, он только тяжело застонал. Правая рука у него висела плеть плетью.

— Ты, Спиря, тово, — бормотал старик Антон, помогая ему вылезть из седла. — Эх, брат, тово... Што это у тебя рука-то, как чужая?

— А так, значит...

Бабы ухватились за лошадей и с причитаньями повели их во двор. Оставалась одна Дунька. Она спряталась за верею[269] и наблюдала, как батюшка-свекор снимал с лоша-

ди озорника Спирьку. Дунькино сердце билось, как подстреленная птица, и она чувствовала, как задыхается. По всем признакам Спирька был едва жив и доехал до Ольховки только по инерции. Когда его сняли с седла, Спирька весь распустился, как ребенок, и едва мог пролепетать косневшим языком:

— Водочки... стаканчик...

— Били тебя, Спиря?

— Ох, как били... И я бил и меня били.

От Спирьки трудно было добиться какого-нибудь толку, да и не любил он расспросов.

— Где был — ничего не осталось, — сурово отвечал он. — Мало ли хороших местов.

— Так, гришь, шибко били? — повторял Антон.

— Очень даже превосходно.

По перепавшим лошадям мужики видели, что Спирька был не близко, а глядя на него — что дело было у него с конокрадами жаркое.

Он оставался гостем у Антона дня три, пока поправился и немного отдохнул. За ним теперь все ухаживали, и пряталась только одна Дунька. Она боялась поднять глаза, когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирь-

ка. Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они столкнулись на дворе, спросил:

— Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня?

У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого виноватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты.

— Так не серчаешь, Дунь?

— Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... Посмеяться надо мной хочешь...

— Я?! Эх, Дунюшка!

Он подошел к ней совсем близко и шепнул:

— Для тебя только и коней выворотил, желанная... На, получай и чувствуй, каков есть человек Спирька. Эх, Дуня... Слов вот у меня нет никаких, штобы, значит, обсказать все... Только и умею, што ругаться.

— Ты меня ведьмой считаешь...

Голос Дуньки оборвался, и она закрыла лицо рукавом. Душившие ее все эти дни слезы так и хлынули. Спирька растерялся и не знал, что ему сказать. Да и что скажешь бабе, которая дура дурой ревет? Правда, жаль бабенки... Спирька повернулся к плакавшей Дуньке

спиной, постоял с минуту, напрасно отыскивая в своем репертуаре хоть одно ласковое слово, но только тряхнул головой и ушел в избу. Он немного струсил и струсил самого себя: жалость так вот всего и охватила.

Спирька ушел от Антона через какой-нибудь час.

— Ты куда это скоро больно поплелся? — уговаривал его старик Антон. — Поживи, пока рука-то поправится.

— Нет, уж я домой, — угрюмо отвечал Спирька.

Дунька видела потом, как батюшка-свекор совал Спирьке рублевую бумажку, а Спирька ругался.

— Отстань, старый черт! Стал бы я себя увечить из-за твоего рубля... Дураки вы все и ничего не понимаете. А Степану я скулу сворочу, как вот только рука выправится.

Обругал всех и пошел домой, придерживая бессильно мотавшуюся правую руку.

VIII

Вернувшись домой, Спирька сразу слег, точно подломился. Сначала у него болела ушибленная рука. Она была точно чужая и

висела плеть плетью. Удар пришелся по плечу, и Спирька чувствовал по ночам страшную боль. Задремлет и видит во сне, как нагоняет конокрадов. Их было трое. Они сидели вокруг огонька, не ожидая опасности. Стреноженные лошади паслись в десяти шагах. Спирька налетел на воров орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и двоих уложил сразу, а третий оказался «жиловатым» и долго дрался со Спирькой. Когда Спирька уложил и этого третьего и «пал» на свою лошадь, он догнал его и ударил бастрыгом[270] по плечу. Хорошо, что Спирька усидел на лошади, а то бы ему несдобровать. Сейчас он повторял про себя тысячу раз эту сцену, и ему казалось, что его все еще бьют. Он просыпался в холодном поту и кричал:

— Эй, всех убью!.. Не подходи.

Спирька думал отлежаться, как бывало раньше. Не в первый раз его били насмерть. Но чем дальше, тем делалось ему хуже. Спирька послал за старухой Митревной, которая лечила всю Расстань. Митревна пришла, осмотрела Спирьку и только покачала головой.

— Эк тебя угораздило, Спирька.

— А што?

— Места ведь на тебе живого нет... Точно цепами тебя молотили.

— Около того, баушка... Весь не могу. И поясницу ломит, и крыльца болят, и ноги отнимаются.

— Вот, вот... Больно ты лют драться-то, Спирька.

— Дело такое подошло, баушка.

— Да, дело хорошее... Как еще тебе башку не оторвали напрочь.

Баушка Митревна еще раз осмотрела Спирьку, покачала головой и проговорила:

— Умрешь ты, Спирька.

— Раньше смерти не помру.

— Главная причина, что у тебя повреждена становая жила и все болони нарушены.

Мысль о смерти Спирьку не испугала. Что же, умирать так умирать... Обидным для него было только одно — оставалось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и ольховские мужики и конокрады, — ступай разбирай, которые били сильнее. Сначала Спирька решил, что его окончательно изувечили конокрады,

а потом на него напало сомнение. Хорошо тузили и ольховские новоселы.

Спирька лежал в своей избушке совершенно один. В Расстани, и в Ольховке, и в Кульмяковой было уже известно, что он не жилец на белом свете. Приходили проведывать разные мужики, и все жалели Спирьку.

— Беспременно ты помрешь, Спирька... Уж баушка Митревна знает. Она, брат, скажет, как ножом отрежет. Достаточно перехоронила на своем веку всяких народов.

— Знаю без вас, што помру... От ольховских новоселов в землю уйду. Я их землей наградил, и они меня тоже землей отблагодарили. Мой грех.

— А ты бы, Спирька, штец горяченьких похлебал. Может, и полегчает... По жилам горяченькое-то разойдется.

— Не позывает меня на пищу, братцы.

Особенно тяжело бывало Спирьке по вечерам, когда он лежал в темноте. Тихо кругом, а в Спирькиной голове мысли так и шевелятся. Припоминал он всю свою жизнь и ничего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему баушка Митревна предложила прожить

жизнь во второй раз, он едва ли бы согласился. Тошно и вспоминать, не то что снова все проделывать. Так, одно безобразие... Другие, конечно, жили и по-хорошему, а он мыкался.

Раз лежал Спирька вечером и особенно мучился. Ему приходилось плохо. Явилось какое-то смутное ожидание чего-то. Вот бы встать теперь, выйти на улицу... Кругом все давно уже зеленело. И горы стоят зеленые, и поля, и луга. Хорошо везде, кроме его избушки. Спирька, кажется, задремал, когда его разбудил осторожный шорох в сенях. Потом раскрылась дверь, и кто-то вошел в избу.

— Ты жив, Спиридон Савельич? — спросил женский голос.

— Это ты, Дуня?

— Я... Урвалась из дому, штобы с тобой проститься.

Голос у Дуньки оборвался. Спирька слышал ее тяжелое дыхание. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну? — сурово спросил Спирька.

— Больше ничего.

Она присела на лавку, и Спирька только теперь рассмотрел, что Дунька пришла с ре-

бенком.

— Ты это зачем ребенка-то приволокла?

— А так... Сказывали мужики, што ты помираешь, — вот я и пришла.

— Помираю, Дуня...

Голос Спирьки сделался ласковее.

— Наши-то мужики тебя вот как жалеют, потому как понапрасну тогда обидели тебя.

— Ну их совсем! Пусть твой Степан благодарит бога, што я кончусь скоро, а то бы... Не стоит говорить, Дуня.

Дунька тяжело вздохнула.

— А што касаемо того, што я тебя ведьмой навеличивал, так это совсем особь статья, Дуня. Эх, не так все вышло. Ну, да што об этом говорить... Не стоит. Все одно околевать.

Послышались легкие всхлипывания. Плакала Дунька. Она не вытирала своих слез.

— Тяжко, Спиридон Савельич... Места нигде не найду.

— Ну?

— Вот как тяжко...

— Обижают?

— А мне все одно... Приду домой и скажу, што была у тебя. Пусть бьют... и матушка-све-

кровушка проходу не дает. Все тобой попрекает... Пусть... Испортил ты меня, Спиридон Савельич. Все думаю, все думаю... С ума ты у меня нейдешь. И мужа не люблю, да и раньше никогда не любила...

— Ну, это уж ты тово... закон принимала, значит, тово... терпи...

— А ежели моего терпенья не стало? Ох, тошно... Вконец вся извелась, Спиридон Савельич. Вот сынка родила, рощу, а сама все думаю: неужто и он в наших мужиков издастся? Какие это мужики? Всего боятся.

— Это ты правильно, Дуня.

— Себя ущитить не умеют... Духу в них нет... Тошно глядеть. Хуже бабы, а еще мужики... Конями-то ты их застыдил.

— Плевое дело.

Дунька продолжала плакать. Ребенок проснулся и тоже заплакал. Спирьке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, утешить, приласкать, но у него кружилась голова и никаких слов не было.

— Ну, мне пора домой, Спиридон Савельич.

Она подошла к нему совсем близко, под-

несла ребенка и проговорила:

— Ты, Спиридон Савельич, перекрести младенчика, штобы он тоже не боялся.

Через несколько дней озорника не стало. Он успокоился на деревенском кладбище.

переводчица на приисках

I

— Да-с, Ираида Филатьевна... — говорил низенький сгорбленный старик с опухшим красным лицом. — Все испытал, все перенес, как праведный Иов...[271] Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.

Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие снизу бахромой штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила:

— Ну, а дальше?..

Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, в красную канаусовую[272] рубашку и щегольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что называется аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.

— Ну-с?... — Ах, Ираида Филатьевна... одну крошечную рюмочку бы... А?..

— Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку...

Вместо ответа старик моментально схватил своими красными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комнату.

Разговор происходил на крыльце коковинской приисковой конторы. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка, направо раскинулся желтым пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт волнистой неправильной линией. Все кругом — и горы, и лес, и прииск, и самая контора — было залито ослепительным светом июльского солнца. Около вашгердов на прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух шагах от конторы.

— Ух, как парит... — вслух проговорил старик, снимая с головы рваную скомканную баранью шапку.

Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; старик жадно припал к нему блестевшими синими губами и, выпив водку зал-

пом, на несколько времени впал в то бессознательно-блаженное состояние, какое испытывают только горькие пьяницы.

— Кто же вас ко мне прислал? — спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком; она задыхалась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее.

— Сам пришел-с, сам, — заговорил старик разбитым! хриплым голосом. — Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служили на Урале, они бывали у меня в доме... Как же-с!.. Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипнцына... Да-с!.. В силе был, в большой силе-с, капиталами страшенными ворочал... Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой маленькой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, локончики... Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, семой годок шел... Одним словом, отроковица.

— Ведь вы в Лобовском заводе живете?

— Да... то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, где ночь.

— Я помию, дом у вас стоит на горе?

— Точно так-с... Этакой большой домина, с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова... Такой же, как у меня. Может, помните?

— Нет... Я помню, как сквозь сон, что была с папа в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду, вместе с какими-то девочками...

— Именно, именно, сударыня... И малина была крупная, хорошая малина, а девочки-то — мои дочери. Да-с... Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, почему пришел к вам... А видите, какая причина вышла: как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом в кабачок, известно, не с радости, а с горя... Хорошо. Только тут попались мне старатели с Коковинского прииска, ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, одним словом! добреющая душа. К кому хворь, говорят, прикинется, али какое горе — все к ней несем... Вот

я тогда и припомнил вас... Думаю, авось барышня и признают Якова Шипицьгна. А мне, видите ли, нужно пробраться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути... Как же-с! А вы вот и признали меня...

— Однако что вам от меня нужно?

— Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида Филатьевна... Как изволите видеть: весь тут — стар и дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за стаканчик я вам благодарен... Э-эх! Ну, да это все пустяки, дело-то не в том... Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж позвольте сначала вам все обсказать.

— Рассказывайте...

Шипицын на минуту задумался, припоминая длинный ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и заговорил своим дряблым, разбитым голосом:

— Прохора-то Герасимовича вы знаете?

— Нет.

— Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?

— Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его издали.

— Так-с...

Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая длинным черным хвостиком, с женским любопытством посмотрела своими черными крошечными глазками на разговаривавших.

Одно мгновение она, кажется, готова была улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, но страх так же быстро миновал, как и пришел, и маленькая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схватывала их, делая самые грациозные па, и несколько раз оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.

— У нас еще отцы-то жили душа в душу, — заговорил Шипицын после своего раздумья, — а потом мы с Прошкой подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и женили... Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по родительскому благословению. Живо рукой окрутят, и вся тут. Хорошо... У Хомутова

в доме и моленная налажена была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, какие строгости были: разорят за моленную. Только старики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевалнсь: чуть что заслышат, сейчас давай замазывать всем рты. Ну, обыкновенная политика... Хорошо. Вот мы и живем рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной грудкой и ходят... А детишек у нас все копится да копится: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год парень — так, вроде как часы были заведены; а у меня не так: у меня подряд шли все девки... Ей-богу!.. Уж чего-чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть одного добыть: на боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку принесет опять... И что бы вы думали: десять девок! Ну, куда я с ними денусь, особливо по нашему купеческому положению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за прилавком: и себе хлеб зарабатывает и отцу замена. Хорошо. Вот только жена моя в

одиннадцатый раз и забеременела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разбирает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, сейчас ее, как кошку, в мешок да в воду... Ей-богу, так и думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как страшного суда, кто родится...

— И родилась одиннадцатая девка?

— Так точно-с: одиннадцатая!.. Уж такое меня горе взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, который у нас за попа справлял... Марком его звали. Ну, Марк меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, бог дал?» А я ему: «Будь она, — говорю, — от меня проклята, — одиннадцатая девка родилась!» Ах, горе, горе!..

— Что же, вы утопили ее?

— Нет... Какое утопил!.. Старших-то девок я-таки недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу пришлась. Ей-богу...сударыня... Стала она подрастать, и такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, ну, загляденье: глазенки как черная. смородина, волосы русые да кудрявые, сама румяная... Ах, хороша уродилась Настенька, все соседи любовались, только уродилась она не в добрый час...

Да. Как раз с самого дня ее рождения начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не везет, другому в другом месте... Не успеешь от одной незадачи поправиться, а там уж другая на носу. Так оно и пошло, точно под гору покатилось. Ну, по крайности, не обидно выходило: пир пировали вместе и горе горевать вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а потом уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще хуже моих. Я-то хлебом торговал, а он красным товаром[273]. Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутоту деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому другу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело и говорю, что помочь мне ему нечем... А Прошка-то Хомутов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в душу жили чуть не сто лет. «Хорошо», — говорю я Прошке. Ну, он, обнаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог... Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ирбит-

скую, набрал товару, а потом через полгода и обанкрутился: все богатство как водой смыло — ничего не осталось. А тут и меня за мою поруку подтянули, и тоже все с молотка пошло... Ох-хо-хо!.. Забедовали как есть... Лавки опечатаны, товар с укциону ушел, дома что было накоплено — тоже помаленьку растранжирили, — сегодня лошадку продадим, завтра экипажи, после — серебряную посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали... А я не ропщу: думаю то — вместе беду несем, авось поправимся. Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хомутовым пропали, ну, а поправится мужик — отдаст.

— Тогда эти вольные золотые промысла пошли, — продолжал Шипицын после небольшой паузы. — Ну, Хомутов-то и раньше немножко золотом займювался, а тут уж обеими руками за прииска схватался... Все равно: двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и посел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не видывали. Да и какие женихи: кто побогаче — брезгуют из разоренного дому невесту брать,

кто победнее — думают, что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать станет. Ну, их у меня, невест-то, зараз штук шесть и очутилось на руках... Чистое горе!.. Девичье дело — и одеться надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. Вот Хомутов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу с своими девками, как собака на цепи, а девки на возрасте — долго ли до греха, К бедности-то завсегда грех первым делом льнет... Так мы и маячились лет с пять, а тут, погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенадцать годочков перевалило и так-то наливается, что твое яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бывало, утешит... А в тринадцать-то лет она у нас совсем заневестилась: хоть сейчас замуж. Ей богу!.. Оказия, а не девка... А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, другие из-за хлеба околачивались по дальним родственникам, од-

на учительшей была... Не с голодухи же помирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином зашибать... Остальные остатки тащил из дому да пропивал. Да как и не пить: придешь домой — вроде как ад кромешный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери грызутся, бедность, нищета... Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и уговорит, и спать уложит, а на утро даже опохмелиться даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, бывало, как мышей, разгоню из дому... Жену, старуху-то, даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чистеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, помолился и к Хомутову, за своим, значит, долгом... Что бы вь думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в моем долге?!.. Ей-богу... «Не бирал» — и шабаш. Это он моими-то десятью тысячами покорыстовался при своих, можно сказать, миллионтах... А дело велось по дружбе, без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.

— Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!..

— Как вам сказать... Мудреное это дело, сударыня, человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую братию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не заплатил... Ума не приложу!.. Даже ежели бы он и должен не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и деньги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же накинулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома... Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старуха-то моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла... Да-с, вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна... А потом, как я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая музыка началась — не приведи господи!..

Девки все на возрасте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели... Так и пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, а водой не заму-

тит... Ну, а тут как-то и ее грех попутал...

— Пятнадцати-то лет?

— Ей и теперь пятнадцать... Да. Обидно мне это, Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот же Хомутов, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на Вогульском и живет... Ну, посудите: ему за пятьдесят, а ей всего шестнадцатый годочек... Ведь еще дите, ежели разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за настоящую взрослую девицу.

— Ах, негодяй! — вскричала Ираида Филатьевна, вскакивая с своего места.

— Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?

— Именно?

— Как же-с... Первое дело, одному мне Хомутов не отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его... Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу — сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ничего не помню. А вот вы бы насчет разговору преотлично-с... Второе-с: куда

я денусь с Настенькой, ежели и ослобонит ее? Ни кола, ни двора... А жаль девку: мак, а не девка, хоть я и проклял ее при рождении.

— Хорошо, я подумаю, — задумчиво ответила Ираида Филатьевна, зажигая потухшую сигару.

II

— А вот и наши идут, — прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. — Оставайтесь с нами обедать, Яков... Яков...

— Порфирыч, сударыня, — помог Шипицын, поднимаясь с своего места. — Нет, Ираида Филатьевна, оченно вам благодарен и без того... Помилуйте-с, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами иностранцами обедать...

— Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь!..

— Нет, уж увольте, сударыня... потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте. В родителя пошли серд-

цем-то, в Филата Никандрыча... Вот ежели бы относительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь... Ведь еще совсем отроковица она у меня!

— Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. Теперь вы куда?

— А на прииске места много... У кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра.

Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно избегая встречи с господами иностранцами.

Впереди всех шел старик француз с козлиной бородкой и седыми усами; его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визижу, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светло-карие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широ-

кими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще m-r Пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до семидесяти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими руками, длинным туловищем, короткими-ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами; в зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане, на голове у него был надет helmet of India — Индийский шлем.

— Здравствуйте, mademoiselle... — заговорил по-французски m-r Пажон. — Мы, кажется, заставили вас ждать? Тысячу раз извините...

— У вас тут была какой-то мущин? — спрашивал немец, снимая с головы соломенную

шляпу, причем его голова оказалась совсем лысой.

— Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт, — отрезала Ираида Филатьевна. — Не «была мущин», а был мужчина...

— Ja, ja... — забормотал старик, — быль, мущина...

— Ну, был, а теперь его нет... Вам какая забота?

— О, ви скажет всегда... такое скажет... — бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, рукой.

M-r Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова: первый щи называл «чи», а второй говорил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка.

После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Коковинская приисковая контора была выстроена на две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой m-r Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее

значение как хозяйка и подруга m-r Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности, все четверо представляли собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь прикрывала более запутанную человеческую комбинацию.

Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил:

— Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle Ира?

Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.

— Как что? — удивилась она.

— Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, по-моему, не совсем удобно...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да ведь этот Хомутов moujik[274], и может сделать какую-нибудь неприятность... наговорит дерзостей.

— Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилетнюю девочку в руках этого скота?

— Может быть, она сама этого хочет...

— Никогда... Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть, заблуждением, наконец, просто несчастием... Ее во что бы то ни стало необходимо вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же...

M-r Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил:

— У вас геройская душа, mademoiselle Ира...

— Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят... Вы думаете, что женщина создана специально

только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.

— Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам...

— Это насчет дуэли?.. Ха-ха... Хомутова можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет.

— Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом, что вы с ней будете делать?

— Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем.

— А я куда?

— Вы перейдете к Шотту... Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь...

M-r Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — это заставило его нахмуриться.

— Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас, — пригрозила Ираида Фила-

тьевна, загораясь румянцем до самой шеи. — Что за глупости!.. Будьте довольны тем, что имеете... за неимением лучшего. А то я сейчас же... Понимаете?

— Ах, я совсем и не думал сердиться, — поправился m-r Пажон, целуя руку m-lle Иры. — Мне показалось только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей, сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой...

— Ха-ха-ха!.. — залилась Ираида Филатьевна. — Вот это мило... Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которой он женится... Я поручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме... своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти

коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно.

Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание — закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, — эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому; эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.

Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут

своего мудреного существования; но тут подвернулся старик Штитцын со своей «стрелой» — и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытья. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех сил, не заставляла переживать мучительных часов ожидания и щемящей тоски.

Теперь другое дело.

Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на. прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом.

«Mademoiselle Anastasie... Настенька... На-

стя...»-шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением дожидаясь ночи.

Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась... Да, она, эта Настенька, всего в тридцати верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может — придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть, страсть со-

вершенно особенного рода: раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке.

Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув окно, уселась на подоконнике, с голыми <плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп m-r Пажона возмущал ее теперь до глубины души, и она с закрытыми глазами мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет...

— Нет, это уж роскошь... вздор! — решила Ираида Филатьевна, останавливая полет соб-

ственной фантазии. — Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов...

А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь; прииск и река Коковинка были затянуты белым туманом; горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.

Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая красавица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, за-

легли темными пятнами по логам и впадинам, а там вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фосфорическими пятнами.

— Как это все хорошо!.. — проговорила вслух Ираида Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней ночи воздухом.

Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний «случай», когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев — это было с ее стороны очень смелым шагом, на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что

m-r Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру — инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершенствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом... потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделалась подругой m-r Пажона. Это случилось как-то само собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.

— Если вы хотите, мы завтра повенчаемся, — предлагал m-r Пажон в порыве великодушия.

— О нет... Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу, — ответила Ираида Филатьевна.

III

На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться и

отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или нет Ираида Филатьевна стаканчик? — думал старик, с трудом передвигая Подгибавшиеся и дрожавшие ноги. — Ох, хорошо бы пропустить два таких стаканчика...» — с безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в его воспаленном мозгу уже рисовалась картина, как Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает стаканчик.

— Эй вы, что же это вы едва шевелитесь? — окликнул Шипицына женский голос.

— Вот те и раз... — проговорил старик, поднимая голову. — К самой конторе подошел... Ишь ты!.. Никак, у них гости? Какая-то дама... Должно быть, меня за кучера приняла.

У конторы действительно стояла тройка оседланных лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не узнал ее сначала; она показалась ему выше, чем вчера, и неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью ша-

почку и униженно поклонился издали.

— Да ну же, чего вы стали? — закричала на Шипицына Ираида Филатьевна, топая ногой. — Я вас с которой поры здесь жду... Верхом умеете ездить?

— Д-да...

— Ну, так садитесь, сейчас же и в дорогу. Вот стоит гнедая, на нее и садитесь.

Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

— Не могу, Ираида Филатьевна... — прошептал он. — Мне бы поправиться... чуточку поправиться... Я молодцом проеду, ей-богу молодцом!..

Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с полубутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопливо спрятала в карман своей амазонки плохонький старинный револьвер системы Лефоше. Пока Шипицын допивал второй стаканчик, из людской показался кучер Макар.

«Ну, и езопа же барышня где-то добыла», — думал он, не торопясь подходя к крыльцу.

При помощи Макара Ираида Филатьевна

взобралась в седло и опытной рукой натянула поводья: соловый киргиз-иноходец, с поротыми ушами, красиво выгнул свою оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже взмостился на свою лошадь, причем никак не мог попасть другим лаптем в стремя.

— Макар, принеси свои сапоги, — скомандовала Ираида Филатьевна, сгорая от нетерпения.

Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в затылке, подал их Шипицыну.

— Две повертки налево, а потом одна направо? — спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал сапоги.

— Точно так-с, барышня, — отвечал Макар, бойко встряхивая своими подстриженными в скобу волосами. — Первая повертка налево будет на прииск Талой, к Соболеву, значит... Вторая повертка налево уведет в Мураши, деревушка тут есть, а третья направо — на прииск Кошьи-к, к Колченогову.

Через пять минут Ираида Филатьевна уже спускалась на своем иноходце под гору, пря-

мо на прииск; Шипицын рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он вел запасную лошадь в дамском седле; это была лучшая лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже не спросил, куда они едут: по воинственному виду Ираиды Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова «стрелу». Они скоро миновали прииск и поднялись на крутую лесистую горку; с нее открывался великолепный вид на весь прииск и на контору, которая занимала небольшое возвышение. Картина получалась самая пестрая: на протяжении целой версты земля была изрыта по всем направлениям и образовала по бокам прииска громадные свалки; Коковинка была запружена в нескольких местах, и ее мутную, желтую воду издали трудно было отличить от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромывательных машин, штанговая водокачка, паровик около шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, нагруженные золотоносным песком, — все это было залито ликующим светом занимавшегося ветряного

дня и производило хорошее, доброе впечатление. Ираида Филатьевна любила приисковую жизнь; эта лихорадочная деятельность была в ее характере, отвечая ее авантюристским наклонностям.

— Экое обзаведение, подумаешь, — задумчиво проговорил Шипицын.

— Пожалуйста, не выпустите лошади, — упрашивала Ираида Филатьевна.

— Помилуйте... да я...

— Нет, серьезно говорю вам. И не отставайте...

Благодаря этой проклятой заводной лошади[275] положение Шипицына выходило самое критическое: левой рукой он правил своим гнедком, правой держал за повод вороную, и за пазухой между тем, как птичка в клетке, билась полубутылка коньяку... Не было никакой возможности пропустить хоть несколько капель живительной влаги, потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазухи бутылку, вороная начинала прясть ушами, раздувала ноздри и. издавала самый подозрительный храп. Лошадь припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. По-

ка Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филатьевна все сильней и сильней подгоняла своего иноходца. Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного и дорога делала много совершенно лишних поворотов. Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось ехать шагом. Через час обе лошади были в мыле, и Ираида Филатьевна, обратившись к своему спутнику, с досадой проговорила:

— До этого Вогульского прииска будет целых сто верст, а не тридцать...

— Сударыня, вы очень скоро едете...

— Вот вздор! Плетемся шагом, точно везем кислое молоко... Я не знаю, уж не сбились ли мы с дороги? Вы видели повертку направо?

— Точно так-с!..

— Это на Талый — Должна быть вторая повертка в Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее.

— На Талом-то работает Соболев, мой бывший приказчик, — со вздохом заметил Шипицын. — На Копчике тоже...

— Другой приказчик?..

— Да... Колченогое. На мои кровные денеж-

ки теперь раздуваются. Ох-хо-хо. В нашем купеческом звании всегда так бывает: хозяин разорился — глядишь, приказчики и полезли в гору. А без приказчиков купцу невозможно!.. Грехи!.. Надо же и им отведать сладкого житья, — прибавил Шипицын со смирением, чувствуя, как у него с непривычки к верховой езде отнималась поясница и начинали отекать ноги.

А кругом, при утреннем освещении, все было так удивительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой развертывалась какая-то волшебная панорама.

С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы на далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман; кое-где он начинал подниматься кверху небольшими белыми облачками, отдельными волнами и длинными белыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы теперь были закутаны фио-

летовой дымкой, которая на горизонте принимала темно-синие тона. Дремучий ельник выстилал все кругом, и только кое-где, на откосах и прикрутостях, из траурной зелени северной ели выделялись гривки сосняку, да еще по лощинам, где бежали из гор ключи, свежими светло-зелеными пятнами вырезывались отдельные островки березняков и осинников. В одном месте дымилось в тумане небольшое горное озеро; горы около него теснились зелеными валами, точно волны тяжелого бархата, раскинутые артистической рукой в красивом беспорядке.

Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая нетронутая глушь, точно они спускались на дно какого-то бассейна, из которого вода только что была выпущена. Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зеленую, прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстия которой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались солнечные лучи и зажигали брильянтовыми искрами придорожную траву, еще покрытую ночной росой. На самом дне лога, куда приво-

дила дорога, мелькали зеленые душистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимолостью и смородиной; в сочной густой траве, хватавшей человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белыми розетками ромашки; иван-чай высоко поднимал свои пирамидальные верхушки, облепленные бледно-розовыми цветочками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти поспевавшей костяники и далеко разливал в воздухе свой аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая головами, вброд переправлялись через говорливую горную речку, путников охватывало ночной свежестью, которая заставляла вздрагивать.

— Этакая благодать! — умилялся Шипицын. — Чудны дела твои, господи... Вся премудростью сотворил еси!..

— Да, здесь действительно хорошо... — соглашалась Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна.

Проведенная без сна ночь и тревога ожи-

дания заставили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на котором на одно мгновение выступили следы минувшей красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания давили ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд неудач и разочарований едва освещался двумя-тремя светлыми точками. Всего несколько мгновений счастья на целую жизнь — это слишком несправедливо!..

Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое.

Ей теперь за сорок лет. Начала она себя помнить маленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кружевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласкалась к нему. Генерал Касаткин принадлежал к тому типу безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые для подчиненных составляют истин-

ное несчастие, потому что, как вы применитесь к человеку, который сегодня разрушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать целый свет за то, что сегодня вполне одобрял. Они в то время жили на Урале, где отец в качестве горного инженера занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсегда осталась какою-то бледной, туманной фигурой, вроде тех, какие появляются на экране волшебного фонаря. Она всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь лечилась и появлялась на сцену только в самые критические минуты, когда генерал Касаткин начинал рвать и метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр и вместе с тем вспыльчив до бешенства: в такие минуты к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те несправедливости, какие люди такого сорта способны устраивать под впечатлением минуты. Появление жены заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он даже плакал от надрывавшей его злости.

— Ах, Ирочка, Ирочка... Моя милая толстушка, как мы теперь с тобой жить будем? —

плакался генерал, когда в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла.

Толстушка положила свою белокурую головку на плечо отцу и горько заплакала, заплакала потому, что все в доме плакали; в действительности она совсем не переживала особенного горя, потому что и не понимала и не любила матери. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, что он делал в своей жизни; он по-своему любил свою бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ирочки, еще три дочери и два сына; как чадолюбивый отец, он сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключалось в том, что детям была предоставлена полная свобода, и они, как все дети, быстро освоились с своим новым положением: мальчики живмя-жили в кучерской, а девочки — в кухне или в девичьей. В каждом барском доме прислуга имеет решающее влияние на воспитание детей, пред ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гувернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За служебными недосугами генерал Касаткин часто со-

всем забывал о существовании своих детей и делал исключение только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, потому что она походила на него во всем, как две капли воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе с отцом по заводам, причем для своего возраста она видела, может быть, слишком много, а еще больше того слышала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в холостой мужской компании, и никто не обращал внимания на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь в уголке под шумок веселых разговоров. с)та цыганская жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в характере Ирочки глубокий и неизгладимый след; к этому периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с семьей Шипицыных.

Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом: не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, он благодаря своей горячности запутался в самой глупой истории. Микроскопический гор-

ный чин сделал донос на генерала, куда следует, обвиняя его в очень важных злоупотреблениях; этот донос вызвал канцелярское следствие. Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек по службе и не знал за собой никакой вины; но беда вышла из того, что производить следствие приехал такой же вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало генерала, тем более что он имел слабость считать себя человеком, в котором не только нуждаются, но без которого министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он разделял очень простительное заблуждение многих других людей и, вместо того чтобы сократить себя и помириться с оскорбившей его особой, полез на стену и в конце концов, как многие великие люди, вылетел окончательно в трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубоко убежден, что ненастье бывает всегда перед ведром и что его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что генерала Касаткина не только не призвали, а со-

всем позабыли и замолчали; он навсегда был похоронен для казенной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная генеральша, этого никогда бы не случилось.

Вся эта история разыгралась в конце пятидесятых годов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался генералом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей жизни целую оппозицию ненавистному министерству. Прежде всего семья генерала начала испытывать чувствительные уколы бедности, которые, наконец, перешли в хроническую нужду; но чем теснее смыкалось роковое кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Чтобы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на частную службу, но и здесь не выдерживал характера и ссорился со всеми. Его расстроенному вооб-

ражению везде грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в конце концов он окончательно и навсегда закупорился в своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил новую пищу его озлобленному чувству, и он злобно хохотал, перебирая официальные известия о повышениях и наградах своих бывших товарищей по службе. Так как лично для генерала песенка была спета, то он постарался создать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых он теперь и занялся с этой нарочитой целью.

Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным периодом ее существования.

Ей только что минуло тринадцать лет, когда они переехали туда, — самый неблагодарный возраст для девочки, когда она теряет занимательность маленькой игрушки, а в обществе больших является совсем лишней. Ирочка в тринадцать лет была все такой же румяной толстушкой, как и раньше, что ее очень бесило; ничего похожего на талию она

не могла сделать при помощи самых узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой обидной ребячьей полнотой. Но Ирочка развилась гораздо быстрее своих лет, и в этом пухлом детском теле проснулись потребности и желания больших людей. Когда она ходила в свою школу в коричневом коротком платье и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское сердце билось недетскими желаниями, и глаза заволакивались туманом: она изнывала от потребности любить и проводила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно люди находят то, что желают найти, и Ирочка встретилась, наконец, с ним. Это случилось именно в разгар генеральской оппозиции министерству. Старшие две сестры Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья кончали курс в гимназии; в генеральском доме скоро закипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция как раз совпала с движением конца пятидесятых годов, и старик ухватился за это движение, как утопающий за соломинку. В генеральском доме происходила настоящая

ярмарка и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка могла только завидовать девушкам с стрижеными, по тогдашнему обычаю, волосами и в синих очках, всегда окруженным толпою молодежи. Тринадцатилетняя толстушка, конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая все, что успевал схватывать глаз. После нескольких неудачных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, она с грехом пополам добилась иметь своего собственного учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической страницей, в которой из-за математических формул и алгебраических выражений на нее нахлынуло чувство первой любви. Теперь, через двадцать пять лет, Ирочка, как сквозь сон, припоминала этого Белоносова, — длинноногий, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесаной гривой, он явился для нее тем идеалом, о котором она даже не смела мечтать. Сколько самых глупых воспоминаний было связано с этим временем: Ирочка до тошноты зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те страницы учебника, к которым при-

касались костлявые руки Белоносова, а обрезки карандашей, которыми он писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень суровый вид и совсем не замечал своей тринадцатилетней ученицы, когда она, с блестевшими глазами и заливавшим все лицо румянцем, отвечала свой урок.

Четырнадцать и пятнадцать лет промелькнули для Ирочки как сладкий сон, от которого она не могла проснуться. Белоносов, наконец, обратил на нее свое внимание и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивался в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не только гулять с своим развивателем по пыльным казанским улицам, сколько было душе угодно, но даже заходила на его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната, с колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном, сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно.

Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-нибудь... Своя воля, свобода — все это теперь гнело и давило Ирочку, которая молилась на своего идола.

Белоносов между тем кончил курс по математическому факультету и поступил учителем гимназии в один из провинциальных городов, сказав Ирочке на прощание:

— Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной женщиной и поймешь, что... Одним словом, я женюсь.

Ирочка побелела от этих слов и жалким, убитым взглядом в последний раз взглянула ка своего коварного идола. Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая папироской, спокойно говорил:

— Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели... Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру: вы пересолили... Если бы вы приняли дозу вчетверо меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы.

— В другой раз я воспользуюсь вашим советом, — едва могла проговорить Ирочка.

— Бедная моя, — жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. — Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика... Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до физиологии — и шабаш! Ох! уж это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого травить себя — нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая физиология бабья...

Генерал сильно состарился за последние года и, как все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой.

Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была

обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он вносил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удесятеряло его веселье.

— Мы еще поживем с вами досыта, — фамильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. — Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов — чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал...

Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь: она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похождения доктора делались известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка про-

щала ему все. Так дело тянулось лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами; она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала.

Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, занятая своими личными делами, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу; одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию», как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу богу, и Ирочка осталась одна.

Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под тридцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых годов — все это, вместе взятое, заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспо-

минаниями: недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности; общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось, впереди нигде не видно было проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все представляло самую печальную картину разрушения; она решилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей.

В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых десять лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уже в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы: была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то ма-

стерскую — словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать, и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, выветрились и износились.

Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в «людей слова». Только семидесятые годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся «детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни да-

же заветных книжек. Эти новые «дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.

IV

— Вот и Вогульский... — проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы.

— А? Что?! — проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь.

— Говорю: Вогульский... Вот, в ложбинке, налево.

Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким, ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вогульский выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты три-четыре. Направо, на самом горизонте синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго смотрела на зеленую даль, на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, го-

ры и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками.

— Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую уйму, — тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. — В прошлом году зашиб тысяч пятьсот... Да-с. Плакали мои денежки...

— Как так?

— Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник... Как же! Не поручись тогда я за него, ведь шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо... Вот и Копчик тоже, и Талый...

Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее сорокалетнее сердце, когда она завидела вдали контору на Во-

гульском: там Настенька, от которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. Скорее, скорее...

Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутанные лошади, глухо позванивая медными боталами; в одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге; в пыли валялись пучки не успевшей завянуть травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжелого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и самый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив — дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем две золотопромывательных машины, катившиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска.

— Вы подождите здесь с полчаса, — говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья. — А потом и приезжайте прямо в контору...

— Хорошо-с... — смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. — Будьте спокойны-с, — прибавил он, не зная к чему.

В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаю иронических замечаний...

Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не могла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке.

— Могу я видеть господина Хомутова? — спрашивала Ираида Филатьевна, инстинк-

тивно принимая позу светской дамы.

Старичок замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери.

— Я сейчас их спрошу, — проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.

Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:

— Пожалуйте... вот сюда-с.

Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убрана очень роскошно для прииска: пол был закрыт бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями; в одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий, плечистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся

фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку в безукоризненную летнюю пару из чечунчи.

— Касаткина... — задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось за конторкой: это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм.

— Очень приятно... — немного хрипло проговорил Хомутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул — Чему обязан видеть вас, madame?..

— Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу...

Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман, для Ираиды Филатьевны промелькнуло миловидное характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым, ка-

призным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать.

— Не хотите ли чаю? — предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена.

— Нет, благодарю вас... — почти шепотом ответила Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской.

— Позвольте... — заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. — Касаткина... Касаткина... Вы не дочь ли генерала Касаткина?

— Да.

— Ах, очень приятно, — уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. — Так это вы на Коковинском у французов живете?

— Да, я служу у monsieur Пажона переводчицей.

— Так-с... да. О-чень приятно... — лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.

Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто «па-

жонова наложница», и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этаких-то генеральских дочерей на своем веку даже очень достаточно», — думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гостьи.

— Я приехала взять от вас Настеньку... — уже спокойно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну перчатку. — Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исключительно в мужском обществе...

— Вот как!.. — процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. — Для чего же вам она понадобилась?

— Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Девочка погибнет у вас...

— Так-с... Гм! Погибнет... А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете...

— Я... — вспыхнула Ираида Филатьевна. — Я совсем другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы На-

стеньку со мной или нет?

— А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?

— Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча...

— Ха-ха-ха! — залился Хомутов, поднимая плечи. — За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. — закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как полотно. — Я сумею заставить вас замолчать... Да!.. Вы думаете, что я — женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно... Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость!..

— Ну, ну, извините, барынька... — заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. — Право, извините... Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку?.. За самоварчиком и покалякали бы...

— Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?

— Совсем нет... Я говорю серьезно. Видите

ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы познакомиться с вами.

— Со мной?

— Да, с вами...

Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя: «Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самая тонкая бестия».

— Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как знаете... А с дороги оно было бы даже очень интересно, ведь тридцать верст тоже проехали, да еще верхом.

— Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь... Пожалуйста, не задерживайте меня!

— Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, а вы... Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в силах (Хомутов повел своими могучими плечами)... Хорошо-с... Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй, и до греха недолго... Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал... Ни-ни!.. Сама при-

шла... Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам расскажет. Ну-с, так выходит, что эта самая Настенька даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно...

— Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это просто варварство...

— Ах, право, как это вы круто разговариваете!.. Право, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь... Не хотите ли курить?

Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.

— Ну, я жду? — резко проговорила Ираида Филатьевна.

— Сейчас, сейчас... Я ведь и папашу вашего, Филата Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были. Вот я а думаю... Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!.. Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с этими французами... Ведь трудно вам?

— Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте...

— Извините, madame, вы не замужем?

— Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?

— А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Вогульский переезжайте... Ей-богу, барынька!

— Да вы с ума сошли?

— Даже нисколько... Я от души, и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, и сойдемся...

— Никогда!.. Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным образом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней девочки, в-третьих...

— Это вам все Шипицын наврал...

— Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо.

— Это вы про Настеньку-то опять?

— Да, про нее...

Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил:

— Послушайте, барынька... Я не знаю, что вы хотите делать с Настенькой, но я... Вы мне

не поверите... Да?.. Спросите ее...

Хомутов вышел... Через пять минут в комнату вошла Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь: небольшого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими, крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», — подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее.

— Нам прежде необходимо познакомиться, — заговорила Ираида Филатьевна. — Надеюсь, мы полюбим друг друга, то есть, я как увидала вас, так и полюбила.

— И я тоже...

Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее рук из своих, она

порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника.

— Я говорила с господином Хомутовым, — закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньки, — теперь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.

— И папа здесь?

— Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной... Может быть, вам тяжело расстаться с Вогульским прииском?

— А где я буду жить?

— Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске...

— А папа?

— Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться...

Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:

— Если вам тяжело будет расставаться с

вашим папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какую-нибудь должность...

— Нет, я так сказала...

С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила:

— О чем вы плачете, голубчик?

— Так... — по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая.

— Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?

— Нет, хочется... только, пожалуйста, скорее...

Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А... подлец! Нашел я тебя... наше-ел!..» — хрипел чей-то

голос, пересыпая свои слова неистовой руганью.

— Ведь это папа кричит... — в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери.

Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло.

— Я тебя наше-ел, подлец! — хрипел Шипицын, начиная синеть.

— Он... хотел меня убить... — задыхавшимся голосом прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье; лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля свежей крови.

— Господа, что же это такое! — металась Ираида Филатьевна, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипицына. — Разве вы не видите, что он пьян?..

— Он меня камнем хотел убить...

После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли; Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираида Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел докончить бутыл-

ку с коньяком.

— Где у вас лошади? — спрашивала Ираида Филатьевна.

— Воронко-то убежал... — смиренно проговорил Шипицын, приходя в себя; его одежда сильно пострадала в неравной борьбе. — А я тебя все-таки убью!.. — заревел он, обращаясь к Хомутову. — Мало тебе моей крови — ты из детей моих кровь пьешь!.. Настенька...

Пьяный, обезумевший старик опять ринулся было на Хомутова, но его вовремя удержали старичок в плисовом пиджаке и давешний молодой человек.

— Мы сейчас едем, — проговорила Ираида Филатьевна, когда со стороны прииска привели сбежавшую лошадь.

V

Настенька поселилась на Коковинском прииске. Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пережила вторую молодость. С утра до поздней ночи она хлопотала без устали; этот труд доставлял ей великое наслаждение, потому что все делалось для нее, для Настеньки. Толстушка переродилась разом и, стряхнув с себя гнет тяжелых воспоминаний,

зажила новой, молодой жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда любви, томившая ее, теперь, как в фокусе, сосредоточилась на Настеньке: каждый новый день приносил новое счастье — открывать новые совершенства в этой загадочной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпалась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и по целым часам просиживала у постели Настеньки, не смея дохнуть; она ловила каждый вздох своего божка и часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью косу или полную детской полнотой с пояском посредине шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки навертывались на глазах слезы, и она не сдерживала их, всем существом отдаваясь сладкому чувству материнской любви.

Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть того, что творилось вокруг нее; она, как котенок, напившийся теплого молока, сладко потягивалась и позевывала, не обращая особенного внимания на куриные хлопоты тол-

стушки и не утомляя себя заботами о будущем. Есть такие люди, которые способны вполне «растворяться в настоящем», выражаясь языком Шопенгауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка часто завидовала непоколебимому равновесию ее душевных сил.

— Ах, это вы... — удивилась однажды Настенька, когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати Ираиду. — Как вы меня испугали!..

— Я... мне показалось, что ты неправильно дышишь... — лгала толстушка. — Не болит ли у тебя что-нибудь, моя крошка?

— Нет, я здорова...

— Может быть, тебе жестко спать?..

— Нет, напротив...

— Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь заболит?

— У меня никогда ничего не болит.

Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Филатьевну до слез, точно на нее пахнуло из далекого прошлого собственной мо-

лодостью, не знавшей, куда деваться с своими, просившими выхода, силами.

Присутствие Настеньки сделало контору неузнаваемой: на окнах появились белые занавеси, на полу бухарский пушистый ковер, в простенке между окнами новенький ореховый туалет со множеством ящиков и шкатулочек; подоконники были заставлены душистыми левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати Настеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла свежий букет из полевых цветов и душистой травы. Сама Ираида Филатьевна больше не наряжалась в свою мужскую канаусовую рубаху, а щеголяла в широких домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, и она остановилась на самом скромном из них, сшитом из тонкой батистовки с бледным синим рисунком; когда Настенька надела в первый раз это платье, зачесала гладко волосы, выбрала самый простой гладкий воротничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та даже немного отступила и, покачивая головой, с невольной гордостью проговорила:

— О, да у тебя есть вкус, моя крошка... да!.. Настоящая Маргарита...[276] Нет, Маргарита все-таки была немка, вялая немка, а ты походишь на... кошечку. Да?.. Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные: никак не разберешь, какого они цвета... То вдруг сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зелеными.

— Как у кошки? — засмеялась Настенька.

Первые дни своего пребывания на Коковинском прииске Настенька совсем не показывалась из своей комнаты на крыльцо, составлявшее теперь нейтральную почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужинали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего прошлого, — думала толстушка. — Конечно, наши мужчины не много с ней наговорят, но примутся таращить глаза, оглядывать всю...» M-r Пажон несколько раз спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она, наконец, покажет им свою кающуюся Магдалину, и при этом так гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно смиренно и с умилением заглядывал в глаза Ира-

иде Филатьевне, точно старый закормленный кот. Один мистер Арчер оставался джентльменом по-прежнему и по-прежнему был серьезен и молчалив.

Ираида Филатьевна сильно боялась за первое появление Настеньки в этой сборной мужской компании, но дело обошлось самым счастливым образом: Настенька появилась на крыльце с скромным достоинством настоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам оставалось только относиться к ней с полным уважением, что и было исполнено.

— А она ничего... — заметил после Пажон.

— Как это прикажете понимать? — резко спросила Ираида Филатьевна, которая теперь начала относиться к своему сожителю очень сурово.

— Я ничего, кажется, не сказал обидного...

— Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное вертелось на языке... Поймите же, что Настенька — такой же человек, как все другие люди, и оставьте свои пошлые мысли.

— Но я не виноват, что природа устроила мужчину и женщину несколько иначе...

— Опять глупо!.. Природа ничего не устраивала для наших пошлостей, которые придумали уж сами люди.

Настенька стала появляться на крыльце, как свой человек, и держала себя с независимой простотой, так что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее и за себя. Победа была одержана полная, хотя Ираида Филатьевна и следила самым ревнивым взглядом за каждым движением «этих проклятых мужчин».

Старик Шипицын ради Настеньки тоже был устроен на прииске в какой-то маленькой должности при золотопромывательной машине и все время не пил, уверяя Ираиду Филатьевну, что он теперь не только не может пить, но даже «вполне презирает эту самую водку». По вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но в комнату Настеньки, несмотря на вое приглашения, не входил, а становился у окошечка и тут беседовал с своей «стрелой». Эта идиллия умиляла Ираиду Филатьевну, и она даже против желания начинала верить, что старик Шипицын, может быть, и совсем бросит водку для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит

чудеса.

— Отчего же вы не хотите в комнату идти? — допрашивала старика Ираида Филатьевна.

— Нет-с, и без того много вам благодарны-с, — уклончиво отвечал Шипицын. — Мы свое место хорошо знаем... Не под кадриль нам с господами иностранцами компанию водить.

В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с Настенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. Они бродили по лесу целые часы и возвращались на прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они брали с собой легкий завтрак и, когда уставали, выбирали где-нибудь под елью или березой укромное местечко и отдыхали на полной свободе, не стесняясь ничьим посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида Филатьевна ни ухаживала за Настенькой, последняя все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор не знала даже того, что нравится или не нравится Настеньке, что она любит, чего желала бы; только в

лесу эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую неприступность, начинала болтать без умолку, пела и дурачилась, как сумасшедшая.

— Э, да ты у меня лесная птичка! — восхищалась Ираида Филатьевна. — Любишь лес?

— Очень... Когда маленькая была, постоянно в лесу жила. Дома скука: мама вечно жаловалась и плакала, папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело! Я отлично на деревья лазила...

Ираида Филатьевна с жадностью хваталась за малейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы по ним хотя приблизительно составить себе картину развития этой брошенной на произвол судьбы девочки и затем определенно идти к цели. А цель была ясна: Настенька — богатая, непосредственная натура, лишенная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Филатьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена знания на эту нетронутую почву — и произойдет чудо умственного и нравственного просветления. Даже круглое невежество Настеньки, которая едва могла читать по складам и писала

без малейших признаков орфографии, — даже это невежество нравилось Ираиде Филатьевне, потому что она могла начать постройку здания с фундамента «Развить эту девушку и вывести ее на настоящую дорогу», — вот была золотая мечта Ираиды Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. План был набросан в пять минут: сначала дать время Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить ее характер, привычки, недостатки и склад ума; затем осторожно приступить к самому «развитию», начать, конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных тетрадок, над которыми пятнадцатилетняя Ирочка пережила столько счастливых часов. Да, это была блестящая идея: заветные книжки должны пробудить в Настеньке жажду знания, а там уже все пойдет, как следует.

Дальше... Первым делом, конечно, бросить прииск и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это будет отлично, а когда Настенька станет на собственные ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер: пусть Настенька посмотрят на настоящую

жизнь и настоящих людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной жизни, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа и плоти. Из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот прилив сил, какой дает нам только молодость; в ней смутно заговорило нравственное чувство, и она с ужасом оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем чужие для нее теперь фигуры: Белоносова, Королькова и до m-r Пажона включительно.

— Все это... грязь и обман, — шептала она побелевшими губами, хватаясь за голову.

«Никто из этих подлецов и никогда не любил меня, — с щемящей тоской думала она далее. — Разве это была жизнь? Сплошной обман и самообман. Ох, Настенька, Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что господь бог создал женщину в минуту своего гнева!..»

Когда Настенька была достаточно подготовлена к принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем приступит к делу, пережила что-то вроде священного трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скитаний, и теперь то, что в теории казалось так просто и ясно, на практике волновало ее и даже нагоняло сомнения. А если она не сумеет приняться за дело?

— Настенька, а ты не думала иногда... — дрогнувшим голосом начала она свое роковое объяснение. — Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?

Настенька с удивлением посмотрела на свою покровительницу и как-то загадочно улыбнулась.

— Меня учила читать одна старушка начетчица, — уклончиво ответила она.

— По псалтырю? Может быть, она била тебя?

— Нас пять девочек у нее училось... Всех колотила. Возьмет да козонками по голове и ударит, а то лестовкой[277] по спине отхлещет.

— Ну, я не про такое ученье говорю, моя

милая. Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они живут теперь в разных странах?.. Отчего у нас бывает тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые и злые? Ведь все это интересно знать... да?

— Не знаю...

— А вот, если захочешь учиться, тогда и будешь все знать... Я сама тебя буду всему учить, хочешь?

— Хочу... А по-французскому вы будете меня учить?

— Если желаешь, и по-французскому будем учиться!..

С этого разговора и началось развитие Настеньки. Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в долгий ящик, достала из чемодана свои книжки и тетрадки и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же день. Толстушка не хотела видеть, что Настенька решительно ничего не понимает и не чувствует и иногда потихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила свою несчастную ученицу заветными книжками далеко за полночь, а ученице эти книж-

ки казались горше козонков и лестовки старухи начетчицы.

VI

За своей новой работой Ираида Филатьевна совсем охладела к m-r Пажону, который только возмущал ее своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной, молодившейся фигурой.

Дни делались заметно короче, и по вечерам в помещении господ иностранцев от трех трубок стоял дым коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не замечали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми Макар нарочно ездил за двести верст; мистер Арчер ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки за спину; герр Шотт возился с своим гербарием, а когда все ложились спать, он зажигал тоненькую восковую свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку работал из разноцветной почтовой бумаги маленький очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость трудолюбию и искусству герр а Шотта: в течение двух недель усиленной тайной работы он едва успел сделать всего один уголок красивого коврика. В это

время кузина мистера Арчера, не получая обычных писем от кузена, пролила много напрасных девичьих слез; добрая девушка из своей старой Англии видела глазами любви дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале к одру болезни тяжким недугом... Как бы удивилась эта милая особа, если бы увидела, как в действительности крепко спал мистер Арчер самым здоровым сном и уж совсем не походил на труднобольного человека. Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением русского языка, и ему решительно недоставало времени на письма.

Однажды, когда Ираида Филатьевна с Настенькой чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы, на ломаном русском языке, комплимент красоте Настеньки.

Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру по-английски:

— До настоящей минуты я считала вас, молодой человек, гораздо умнее... Разве можно говорить такие вещи молоденьким девуш-

кам?

— Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая хорошенькая, — невозмутимо отвечал англичанин.

— Но вы все-таки должны себя держать джентльменом...

Занятия с Настенькой по части развития подвигались крайне туго, ученица не только не понимала умных книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким образом, пришлось изменить немного план развития этой дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней арифметические задачи. Однажды, когда такой урок порядком надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро спряталась за косяк.

— Да ведь это Хомутов?! — в ужасе прошептала Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, что этот ужасный человек приехал за Настенькой.

Она выпрямилась и как-то вся надулась, как наседка, которая приготовилась защи-

щать свой выводок от налетевшего ястреба; чёрез минуту она уже была на крыльце и встретила Хомутова очень колодным вопросом:

— Вам кого угодно, милостивый государь?

— Да я так приехал... — добродушно отозвался гигант, передавая своего туркменского иноходца Макару. — Об вас соскучился, Ираида Филатьевна, ей-богу!..

— А я так о вас нисколько... Однако вам кого угодно видеть? Господин Пажон на прииске, и в конторе никого нет...

— Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть его погуляет по прииску. Я собственно с вами хотел побеседовать...

— Благодарю за внимание, но мне как раз решительно некогда сейчас.

— Я подожду...

— Да что вы привязались так? Кажется, могли бы сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами...

Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел на Ираиду Филатьевну, а потом с своей добродушной улыбкой проговорил:

— Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился и приехал отбивать ее у вас?

Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул рукой.

— Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но на вашем месте я не сделала бы так... Понимаете?

— Почему же это?

— Вы и этого не понимаете? — с презрительной улыбкой проговорила Ираида Филатьевна. — Вы, кажется, уверены, что, имея деньги, можно делать все и, мало этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой совестью...

— Это вы опять насчет Насти?

— Кажется, я довольно ясно высказалась...

Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то глупо-загадочной, безнадежно улыбкой, и он прибавил вполголоса:

— А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?

— Я этого не желаю знать и не имею права на такие вопросы...

Хомутов помолчал с минуту и потом с какою-то больной улыбкой проговорил:

— Знаете, Ираида Филатьевна.... мне вас жаль... да! Вот вы образованная женщина и генеральского происхождения, а этого не понимаете. После попомните мои слова, да будет поздно...

— Вы напрасно трудитесь застращивать меня: я не из робкого десятка... и даже ждала с вашей стороны этого подходца.

Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца и уехал на прииск.

Это посещение сильно встревожило Ираиду Филатьевну, и она со страхом ждала следующего появления Хомутова на Коковинском прииске. Действительно, через несколько дней Хомутовский иноходец был привязан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в комнате с господами иностранцами, с которыми вел беседу при помощи герр Шотта. Это нахальство и дерзость взорвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупоривались бутылки и вся компания начинала говорить все громче и громче.

«Сегодня же нужно уехать отсюда, — решила про себя Ираида Филатьевна. — Этот раз-

бойник, кажется, способен на все...»

Она, вероятно, не замедлила бы привести свою мысль в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь к отступлению был отрезан: сейчас после обеда на крыльце устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся обильным возлиянием. Очевидно, все было в заговоре против нее, и она металась по своей комнате, как зверь в клетке.

— Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить Настенька свою учительницу. — Велика беда, поиграют, напьются и разойдутся...

— Но ведь это заговор против меня! Понимаешь: против меня... они все запляшут под дудку этого Хомутова!.. Это какие-то куклы... Чтобы я после этого осталась здесь?!.. Никогда!..

— Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спрашивала Настенька.

— А ты поедешь со мной?

— Да...

— Там увидим куда... Свет не клином сошелся, моя крошка. Давно бы следовало

уехать, да все проклятая лень заедала: с насиженного места не хотелось трогаться. Э!.. Все это вздор... Мы еще с тобой поживем...

Настенька тихо засмеялась.

— Ты над чем это смеешься? — обидчиво спрашивала Ираида Филатьевна.

Девушка молча кивнула головой по направлению дверей, откуда доносился смешанный гул голосов.

Игра продолжалась до самого вечера, а когда все стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в слегка приотворенную дверь. На крыльце никого не было, и только показавшийся молодой месяц матовыми серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила назад: на ступеньках лестницы, где она недавно разговаривала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и смотрел на нее остановившимся, бессмысленным взглядом совсем пьяного человека.

— П-послу-ушай... — замычал Хомутов, делая напрасное усилие подняться на ноги. — Все гор-рит в нутре... воды испить... смерть моя пришла...

Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды Филатьевны, и она, не давая себе отчета в своем поступке, побежала в комнату за графином воды и нашатырным спиртом. Вся проза вытрезвления была ей известна досконально. Чтобы сразу привести в чувство Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пустила несколько капель нашатырного спирта. Это лошадиное лекарство для этого колосса было детской игрушкой.

— Спасибо, барынька... — проговорил потом Хомутов, когда выпил два графина самой холодной воды.

— Натирайте виски вот этим спиртом...

— Нет, не надо... Ты мне чего-то подсунула, барынька? Сразу весь хмель вышибло... А все это твой Пажон, старый петух: пристал с шартрезом, что не выпить мне одному бутылки. Ну, и выпил... Перехитрил, французский петух!.. Совсем было ослабел... да... ослабел. Отродясь не бывало этакого страму...

— А вы сегодня не ездите домой.

— Нет, не поеду... Я еще с тобой буду говорить.

— Послушайте... вы забываетесь!..

— Нет, ты теперь меня послушай, барынька... Ты меня послушай!.. Да ты меня не бойся... Скажи сейчас: «Хомутов, але марш в воду!» Только пузырьки пойдут... Ей-богу!.. Да... Э-эх, барынька, барынька!.. Разговор-то у меня мужицкий, ну да не в этом дело... А ведь я тебя полюбил, вот те Христос. Как ты меня тогда отругала... помнишь, в моей конторе? Ну, я тебя и полюбил...

— Вам, право, теперь спать пора, а в любви мне успеете объясниться завтра, — уговаривала Ираида Филатьевна.

— Нет, ты слушай... И обругать человека не мудрено, — продолжал Хомутов в каком-то раздумье, — вон Шипицын даже искусал меня тогда... Не в этом дело!.. Да... Видишь, у Хомутова много золота, да не все золотом купишь. Так? Вот и Настя... Ну, да это другая статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня тогда приняла, как наступила на меня... Ха-ха!.. Нет, видно, не все золотом купишь... Вот я тебя тогда за то и полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты и сама себе цены не знаешь, и Настя не знает... Да! А я вот тебя насквозь вижу... Вижу, как ты меня

боишься и ненавидишь. А напрасно... боишься-то напрасно!.. Хомутов — пропащая голова... верно!.. А отчего он пропадет? От силы от своей, барынька, от силы-мочи... Некуда с ней ему деться. Так-то!.. Все льнут к золоту, все тебя обманывают, ну, и расстервенишься... Теперь взять, какие наши бабы? Был я женат и еще жениться могу, а все эти наши бабы на одну колодку скроены: либо боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит, а настоящей чести в такой бабе все-таки нет... Гонору нет, потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. Вот я тебя и жалею, — неожиданно прибавил Хомутов, встряхивая своей головой, — задарма пропадешь, барынька.

— Это не ваша забота.

— Нет, погоди... я ведь тебя от совести жалею: теперь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет... Вер-рно!.. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь... Беда-то не по лесу ходит, а по людям...

— Чего же мне жалеть себя?

— Сама себе беду наживешь... Твоя-то беда теперь тебе в глаза смотрит, улыбается, а...

— Вздор!..

— Ты, думаешь, Хомутов пьян, зря мелет... Нет, голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит... да!..

— Скажите мне одно, — уже задумчиво и серьезно проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на крылечко рядом с Хомутовым — зачем вы разорили Шипицына, обольстили его любимую дочь и теперь его же и ненавидите?

— С Шипицыным нас бог рассудит... Мы тут все запутались, а теперь поди разбирай, кто прав.

— Положим даже, что вы и сами не уверены были в своей виновности, чего же стоило вам выбросить старому другу пять — десять тысяч, чтобы оградить себя от нареканий!.. Вот чего я не понимаю! Ведь вы другим помогаете же, я знаю, а Шипищына преследуете...

— Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне приставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось... А теперь уж ему не поможешь, Шипицыну-то. Если ты скажешь одно слово, — прибавил Хомутов, — своими ручками бери и отдай Шипицыну, сколько те-

бе поглянется. Отворю сундук, и бери.

— Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня.

— Не могу... Шипицын-то вам рассказывал, да не все. Есть у меня старушка мать, очень древняя старушка, вот она и проклянет меня, ежели я помогу Шипицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой вышел, крупный разговор. Надо полагать, сказал он ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей сказал — я неизвестен, потому родительница молчит... Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения родительского во веки веков. Прокляну... А без моего благословения погибнешь, аки червь!» Ндравная старуха, одним словом.

— Ну, а я, барынька, домой, — заговорил Хомутов, прерывая сам себя и поднимаясь с места. — Тошнехонько мне на твоих французов смотреть...

Как Ираида Филатьевна ни уговаривала Хомутова не ездить ночью, он настоял на своем и влез на выстоявшегося иноходца.

— Приезжайте как-нибудь, — проговорила

Ираида Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу, — побеседуем.

— Спасибо, барынька... Это я тебе пьяный все разболтал, а трезвому стыдно будет глаза показать. Да... А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежели круто придется, только перешли мне весточку: я всех в один узел завяжу для тебя... Слышала?..

— Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться за помощью...

— Гордость одолела... Ну, как знаешь... А только попомни мое слово: берегись того, кого любишь.

Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом густом тумане, которым был залит весь прииск; только удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений нарушали мертвую тишину летней уральской ночи.

Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны и прилегла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого любишь», — вспомнила Ираида слова Хомуто-

ва и долго и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала, слегка раскрыв свои пухлые розовые губы; ровное, спокойное дыхание едва можно было заметить, по лицу расплывалась какая-то неопределенная мысль, заставлявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые ресницы бросали на закрытые глаза густую тень, так что казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а как темные неясные пятна.

Странно, за несколько часов перед этим Ираида Филатьевна считала Хомутова разбойником и страшно боялась его, а теперь... теперь ей немножко было жаль его. Это было совсем особенное чувство, которое столько раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы: душу охватывала неопределенная тоска, между тем в сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало туманом.

— Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей, — проговорила она сама себе вслух, распахивая окно.

Половина неба была затянута тучей; где-то вдали глухо рокотала летняя гроза, и тянуло

свежей пахучей струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Несколько звездочек весело мигали в углу окна.

VII

Хомутов действительно больше не показывался на Коковинском прииске; Ираида Филатьевна скоро позабыла о нем и его странных разговорах.

Приближалась осень. В жизни Ираиды Филатьевны это время года всегда являлось критическим моментом, и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроятся? Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? Последняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Филатьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные сумерки столичного существования, с его голодовками и холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво.

— Мы с тобой так сделаем пока, — предлагала Ираида Филатьевна: — возьмем у госпо-

дина Пажона отпуск недели на две, съездим в соседний город. Может быть, там устроимся, а если нет, тогда махнем дальше.

Настенька ничего не имела против такого плана, и они решились выехать через три дня. Но накануне отъезда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была горячая, глаза мутны.

— Придется одной ехать, — решила Ираида Филатьевна. — , Медлить нельзя.

А как же я здесь одна останусь? — спрашивала Настенька. — Я боюсь.

— Глупости... Кругом порядочные люди, и никто не осмелится беспокоить мою больную девочку.

Перед самым отъездом, когда лошади уже были поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и расплакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьевну, и она, целуя Настеньку, ласково ее спрашивала:

— О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня останется одна старушка, которая не даст тебя никому в обиду. Ну, о что ты плачешь?

— А если вы не приедете? — сквозь слезы спрашивала Настенька.

— Вздор!.. Будь умницей и выздоравливай поскорее.

— Вы всегда так любили меня... заботились...

— О, это пустяки, моя хорошая!.. Я тебе всегда говорила, что мы все эгоисты и все на свете делаем для собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или приятно, следовательно, не может быть и речи о какой-нибудь благодарности.

— Скорее приезжайте, Ираида Филатьевна! Мне без вас будет очень скучно.

Настенька бросилась к ней на шею и со слезами целовала ей все лицо и шею, так что та принуждена была даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька притихла и как-то вся съежилась; она показалась теперь Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой.

— Вы мне отвечаете за мою девочку... Понимаете?.. — проговорила Ираида Филатьевна при отъезде Пажону.

— О, будьте покойны, совершенно покойны! — уверял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой.

— Особенно берегитесь Хомутова... — настаивала Ираида Филатьевна. — Это такой человек, который... Одним словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится.

В душе ее опять проснулся безотчетный страх к Хомутову, и она оставила прииск в самом тревожном настроении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы оставляла на прииске свою родную дочь.

Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвращалась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса увидит, наконец, Коковинскую приисковую контору.

Дела были устроены, работа отыскана, но всю дорогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, что Настенька опасно больна; то она видела Хомутова, который ехал на Коковинский прииск с коварной целью похитить Настеньку; то она начинала бояться тысячи тех случайностей, которые может придумать только возбужденный

мозг.

Наконец дорога кончилась, с вершины последней горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый низенький домик, о котором она столько думала. По наружному виду все оставалось по-прежнему, и из одной трубы весело поднималась кверху синяя струйка дыма.

Когда экипаж подъезжал к самой конторе, Ираида Филатьевна заметила, как из-за угла показалась было фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое предчувствие сдавило ее сердце. Вылезая из экипажа, она заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей конторы и быстро спряталась. Из людской показался герр Шотт в ермолке и в старом халате; старик нес в руках что-то белое. Ираида Филатьевна заметила издали, что это были женские воротнички и манжеты. Глаза их встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный школьник, побежал обратно в людскую.

— Это черт знает что такое! — проворчала Ираида Филатьевна, взбегая на крыльцо.

Она только что хотела отворить дверь в свою комнату, как ей загородила дорогу молодая горничная в накрахмаленном белом переднике.

— Нельзя-с... — бойко проговорила горничная. — Барыня почивают... Не приказано будить.

— Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя милая... Я здесь барыня и приехала к себе домой.

— Никак нет-с... У нас барыней Настасья Яковлевна. Третьева дня свадьба была в ...ском заводе.

— Какая свадьба? Что ты мелешь?..

— Барин Пажон-с женились на Настасье Яковлевне. Обыкновенная свадьба... А меня приставили к барыне горничной.

Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул, и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с двусмысленной сдержанной улыбкой смотрела на нее и не оставляла дверей.

Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько времени она просидела в этом положении; ее заставила очнуться маленькая желтая со-

бачка, которая с чисто собачьим участием к человеческому горю ласково лизала ей руки. Откуда взялась эта собака, бог ее знает: до этого времени Ираида Филатьевна никогда не видала ее на прииске.

— Куда? — проговорила глухо Ираида Филатьевна, когда пришла в себя. — Куда теперь?

Горничная ушла от дверей, за которыми слышался теперь шелест накрахмаленных юбок и плеск воды. «Барыня умывается...» — подумала Ираида Филатьевна и сейчас же прибавила про себя: «А я зачем сижу здесь?»

Было часов двенадцать; солнце стояло над головой, но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание наступавшей осени чувствовалось во всем: зелень на деревьях побледнела и перешла в желтые тона; трава высохла; недавний утренник прихватил несколько молодых березок, и они выделялись из остального леса яркими, лимонно-желтыми пятнами. В двух-трех местах, как облитая кровью, стояла осина.

— Зачем же обман?.. — стонала Ираида Филатьевна, хватаясь за голову. — Зачем было

обманывать?

— Войдите, — послышался из-за дверей голос Настеньки.

В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. Еще раз взглянуть на нее, на ту, за которую она готова была отдать свою жизнь.

Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, Настенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, пред которым поправляла свой батистовый чепчик с эльзасским бантом. На ней был надет длинный батистовый пеньюар со множеством богатых прошивок.

От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны закружилась голова и подкосились ноги: ей предложили поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взглядом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. Может быть, все это сон? — мелькнуло в ее голове, и она даже провела ладонью по холодному лбу, — нет, это была сама действительность, которая жгла ей грудь и камнем дави-

ла сердце.

— А я чуть не забыла... — спохватилась Настенька, придавая своему лицу серьезное выражение. — Без вас здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спрашивал, когда вы приедете. Он, наверно, и сегодня будет.

— Настенька!.. — глухо застонала Ираида и выбежала из комнаты.

«Куда? Зачем?» — вертелись в голове ее вопросы, когда она очутилась на крыльце и на нее пахнуло свежим воздухом.

Лес был так же зелен, как всегда; осеннее солнце обливало золотыми волнами все кругом; где-то беззаботно чиликала безыменная лесная птичка; покоем и тишиной веяло отовсюду — той тишиной, какой природа преисполняется только осенью, как человек, который готов заснуть.

— Куда? Зачем? — уже вслух спрашивала себя Ираида Филатьевна, бесцельно хватаясь одной рукой за дорожную сумочку.

Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове, и каждая картина

раздавливала ее, как колеса катившегося по ней поезда, и тут же из глубины души, из полузабытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем и для чего, выплыла тихая семейная сцена... Вот Ирочке восемь лет; она лежит в свой теплой мягкой постельке и сладко спит утренним детским сном, которого никак не может разогнать старая няня Акимовна, вынянчившая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, голубушка, — шепчет старушечий голос, и костлявая сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы пощекотать баловницу, — благовестят, Ирушка», — «Я сейчас, Акимовна, одну минуточку», — сладко шепчет девочка, не открывая глаз. Опять набегает сладкий и могучий детский сон, и опять слышится старушечий голос: «Ирушка, отблаговестили!..» Чьи-то дрожащие руки любовно и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и маленькая Ирочка сквозь сон, точно из бог знает какой дали, слышит: «Ирушка, трезвонят... Вставай, ласточка!» —: «Акимовна, голубчик, одну секундочку...» Старушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает задумчиво голо-

вой и ласково шепчет: «Ну, ин, понежься...» Но через мгновение старая Акимовна приходит в себя и каким-то испуганным голосом начинает шептать: «Ирушка, оттрезвонили! А?.. Ирушка, отблаговестили!..»

— Отблаговестили... оттрезвонили... — машинально повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Акимовны, и теперь они жгут ее огнем: впереди темно, холодно, некуда больше идти...

Конский топот заставил ее поднять голову; не видя еще ничего, она уже чувствовала, что это едет Хомутов. Да, это его иноходец звонко бьет копытом землю... Первым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыться, но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шотт, как прятался за угол Шипицын, — и осталась на месте. А Хомутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это мгновение, ненавидела за его физическую силу, за самоуверенную улыбку...

— Ираида Филатьевна...

— Не подходите... — в ужасе шепчет она, точно стараясь что-то припомнить — Погоди-

те, одну минуту погодите...

Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе...

— Послушайте, сходите к ней, — шепчет она, показывая головой на контору, — скажите ей, что я прощаю ей все... Понимаете... решительно все!.. Я уйду отсюда, только... только я хочу проститься с ней.

Хомутов нехотя вошел в контору, и Ираида Филатьевна от слова до слова слышала его разговор с Настенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое слово. «Что еще за нежности?» — почти кричала она на Хомутова.

Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в предсмертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей показались люди и, как всегда бывает в таких случаях, начали поднимать умиравшую.

— Отходит... — прошептал Макар, когда Ираида Филатьевна распустилась на его руках, как подстреленная птица.

Уткнувшись в угол лицом, тихо захныкал

старик Шипицын; Хомутов стоял над самоубийцей растерянный и убитый.

— Эх, светлая была душа... — медленно и с расстановкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову широкую шляпу.

M-r Пажон, глядя на безмолвно лежавшую m-lle Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бесстрастно осмотрел бывшую переводчицу и ушел к себе в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию к кузине, которая не получала от него никаких известий в течение целого месяца.

Доброе старое время

I

— Господи, как дороги дрова, Антонида Васильевна!

— А квартиры, Яков Иваныч?

— И квартиры тоже... Всё новые дома строят, всё строят, а квартиры и не думают дешеветь. Я за свою конурку пять рублей плачу, Антонида Васильевна... Впрочем, нужно будет переменить квартиру.

— Я три рубля плачу вот за эту мерзость, Яков Иваныч. И квартиры дороги, и дрова до-

роги, и люди нынешние — дрянь.

— Совершенно верно-с: дрянные люди. Даже и не люди, а так что-то такое: взять в руки нечего. Даже молодежь — и та ничего не стоит. А в наше-то время, Антонида Васильевна... Господи, точно все это во сне видишь... Закроешь глаза и видишь...

— В живых-то только мы с вами остались.

— Да... Сколько лет будет, как умер Крапивин?

— Ах, давно... двадцать лет.

— Неужели? А точно вот вчера все было... И генерал умер, и Додонов... все умерли.

После этих грустных воспоминаний наступила длинная пауза. Яков Иванович долго жевал своим беззубым ртом, перебирал в руках платок, щурился и тяжело вздыхал. Все это было прелюдией к одному и тому же разговору, который всегда бесил Антониду Васильевну. О, она отлично знала, что старик пройдется своею расслабленною походкой по комнате, поправит старомодный воротник сюртука и проговорит:

— А ведь я говорил вам тогда, Антонида Васильевна... Ах, напрасно вы меня не послу-

шались!..

Антонида Васильевна вскакивала с места, выпрямлялась и, приняв гордую позу, отвечала одно и то же:

— Яков Иваныч, вы никогда меня не понимали!

— Сорок лет я вам повторяю одно и то же... Ах, напрасно, Антонида Васильевна! Помилуйте, я тогда прямо сказал вам: покаетесь, Антонида Васильевна, да будет поздно. Да...

— И не покаюсь!

— А вот покаетесь.

— А нет!

Глядя на старика, Антонида Васильевна часто думала: «Совсем из ума выжил человек... и куда что девалось, подумаешь!..» Яков Иванович думал то же, глядя на Антониду Васильевну, и грустно качал головой. Неужели это она, та Антонида Васильевна, за которой ухаживал сам хромой генерал?.. Сгорбилась, обрюзгла, состарилась, глаза слезятся, лицо в морщинах, волосы седые — даже тени не осталось от прежней красавицы. Все тлен и суета, а женщины всегда останутся легкомысленными созданиями и будут всегда жить се-

годняшним днем. Яков Иванович с сожалением оглядывал пустую комнату своей приятельницы, просиженный диван, единственный комод, заключавший в своих недрах все движимое Антониды Васильевны, и еще раз качал головой.

— Не хотите ли кофе, Яков Иваныч?

— Отчего же... Я, знаете, когда шел сюда, то думал: а хорошо бы напиться кофе. Кровь согревается.

Пока Антонида Васильевна возилась около самовара и согревала дрянной жестяной кофейник, Яков Иванович ходил своими старческими шажками и что-нибудь рассказывал.

— Вчера я был на рынке, Антонида Васильевна... Капуста была такая дешевая. Я всегда у одной прасолки покупаю... Обманывает она меня, но я уж привык к ней. Хорошо-с... Стою я с мешком около лавки, а на меня лошадь... ей-богу, чуть не смяли. Сидит купчиха и говорит: «Я два воза капусты купила да воз огурцов». Ведь это очень выгодно, Антонида Васильевна, то есть выгодно все оптом покупать. Конечно; у кого есть деньги, так тем выгодно... Вот говядина тоже, сахар, кофе... Я

всегда завидую богатым: всё дешево покупают, потому что вовремя. Привезли капусту — давай капусту, закололи теленка — давай теленка... хе-хе!.. Я прежде тоже хозяйственно жил и всегда делал запасы... Своя коровка была, лошадка... Вы мне не крепко наливайте: доктор не велит пить крепкий кофе.

— Знаю, знаю... Вот вам сливки, Яков Иваныч.

— Благодарю... Так я и говорю, Антонида Васильевна: хорошо богатым людям на свете жить. Комнаты большие, светлые, теплые, запасов всяких много, да еще деньги в банке лежат. Понадобилось — и взял из банка...

— Да, отлично.

Старики часто ссорились, особенно в ненастную погоду, но один без другого сильно скучали. Однажды у Якова Ивановича заболели ноги, и он целую неделю не показывался. Антонида Васильевна даже всплакнула про себя и послала знакомую кухарку узнать о здоровье. Сама она не решалась навестить своего старого друга: как она придет на квартиру к холостому человеку? Впрочем, старики хворали редко, хотя Якову Ивановичу

стукнуло уже восемьдесят лет, а Антониде Васильевне было под семьдесят. Как особа с тактом, старушка не показывала вида, что рада каждому визиту своего старого друга и что без него страшно скучает. Мужчины неблагодарны, и тот же Яков Иванович мог подумать про нее бог знает что, как все мужчины. Им только позволь... Отношения Якова Ивановича действительно носили корыстный характер: отчего не напиться кофе фирмы «Чужой и К®», а потом все-таки моцион — полезная вещь, и наконец, керосин напрасно горит, когда сидишь один дома. Угощать Антонида Васильевна любила, как все женщины, — у ней это было в натуре — отдавать последнее. Вот это-то и довело ее до каморки, когда другие женщины, которые не стоят ее пальца, разъезжают на рысаках и покупают капусту возами.

А какие бывают скверные дни осенью, когда дождь зарядит с утра! На улицах грязь, окна в комнатах отпотеют, из всякой щели ползет предательская сырость, и богатые кажутся еще богаче, а бедность еще беднее. Яков Иванович кашлял, охал и все-таки полз к Антони-

де Васильевне, чтобы хоть поскучать вместе. Именно стоял такой ненастный день, когда старик явился напиться кофе к Антониде Васильевне. Он в темной передней бережно снял калоши осторожно поставил в уголок свой зонт, снял отяжелевшую от дождя шинель с крагеном[278] и проговорил в дверях:

— Можно войти, Антонида Васильевна?

Яков Иванович был самый вежливый и деликатный человек, и Антонида Васильевна именно за это его и любила больше всего: увы, таких вежливых людей больше нет!.. Нынешние люди не понимают такой простой истины, что вежливость — это целый капитал и что благодаря именно ей в свое время Яков Иванович всегда Пользовался неизменным успехом у женщин. О, любовь ему ровно ничего не стоила, и ему многое прощалось именно за умение держать себя! Яков Иванович вовремя умел быть и смелым и скромным и всегда молчал: ни одной тайны не было им выдано. Вот секрет дожить до восьмидесяти лет, еще в силах, а дальше уже «труд и болезнь»... Женщины любили Якова Ивановича и в критических случаях советовались с

ним, как было и с Антонидой Васильевной. Конечно, они делали по-своему, а Яков Иванович молчал, будто ничего не знает.

— Пожалуйте, Яков Иваныч...

Заняв свое обычное место на диване, Яков Иванович с присущею старым людям проницательностью сразу заметил, что Антонида Васильевна была сегодня не в своей тарелке. Может быть, получила неприятное письмо? Нет, писем она уже давно ни от кого не получала. Время писем миновало для нее... Что бы такое могло быть?

— Холодно, Антонида Васильевна.

— Очень холодно, Яков Иваныч.

В своем темном люстриновом платье Антонида Васильевна походила бы на монашку, если бы лицо ее не было покрыто темными пятнами от дрянных старинных белил. У монахинь лицо бывает такое белое и кожа — точно корка просвиры. Дома воротничков и рукавчиков она не носила, а когда приходил Яков Иванович, накидывала на плечи старенькую ковровую шаль. Теперь Антонида Васильевна куталась в свою «тряпочку», как она называла шаль, сильнее обыкновенного

и старалась не смотреть на гостя. Перебрав все темы, Яков Иванович вопросительно поглядел на дверь, откуда должен был появиться кипевший самовар. Он не понимал, зачем хозяйка так медлит, а сегодня ему особенно хотелось напиться кофе, — мерзавец погода.

— Вы здоровы ли, Антонида Васильевна? — спросил он наконец, аккуратно понюхав табаку.

Антонида Васильевна что-то перебирала на своем комоде и удивленно оглянулась, а потом быстро вынула из кармана платок и закрыла им лицо. Послышались сдержанные всхлипывания. Как все мужчины, Яков Иванович не выносил женских слез и рассердился. Помилуйте, так могут капризничать одни девчонки... О, он хорошо знает цену этим женским слезам и никогда им не верил. В нем проснулась старческая жестокость. Но Яков Иванович всегда был вежливый дамский кавалер, поэтому, дав время пройти пароксизму, спросил по возможности ласково:

— Что с вами, Антонида Васильевна?.. Не могу ли я чем-нибудь быть полезным?

— У меня... у меня нет больше кофе!..

Яков Иванович был огорчен, но все-таки плакать не следовало. В жизни ему приходилось много видеть женских слез, и поэтому он пустил в оборот тот бессмысленный набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Женщины любят, чтобы их так заговаривали, а смысл — это другое дело. Но и это верное средство не помогало; Антонида Васильевна продолжала плакать... Да и слезы были нехорошие, — те тихие слезы, которым, как осеннему мелкому дождю, конца нет. Старый эгоист только теперь пожалел свою приятельницу, тем более что это искреннее горе касалось и его.

— Что же, Антонида Васильевна, убиваться? — бормотал он. — Если, нет кофе, то можно и чаю напиться. Отлично согревает...

— И чаю нет... я... я не ела уже два дня... ничего нет.

У Якова Ивановича вырвался неопределенный звук: «Это уж слишком — и скверная погода и эти слезы». Он даже посмотрел на дверь, чтобы половчее улизнуть, — последнее много раз выручало его из критических обстоятельств. Но Антонида Васильевна повер-

нулась уже к нему и, не вытирая катившихся по ее лицу мелких старческих слез, порывисто заговорила:

— Все это пустяки...

— Как пустяки?

— Что я нищая — это пустяки... Сама виновата. Но меня убивает одно: сегодня двадцать первое сентября...

— Ах, да... Ведь Павел Ефимыч был бы сегодня именинник. Да, да... Скажите, а я-то и забыл. Давно ли это было, подумаешь... Пир горой шел у Павла Ефимыча... шампанское...

— И это пустяки, — прервала его Антонида Васильевна, комкая платок в дрожавших руках. — Сегодня я убедилась наконец, что тогда я действительно была глупа, а вы — правы... Да, вы были правы, Яков Иваныч, хотя прошлого и не вернешь.

— Ах, Антонида Васильевна, Антонида Васильевна... ведь я же говорил вам тогда?.. Если бы вы меня послушались...

— Я была молода... глупа... Кто бы мог подумать, что я проживу так бессовестно долго? Ведь я давно пережила себя...

— Да, да, состарились мы с вами, Антонида

Васильевна...

— У меня теперь все бы было: и свой дом, и лошади, и прислуга... Сорок лет я думала, что поступила, как следует порядочной женщине, но вот сами видите, что из этого вышло... Нет больше кофе, Яков Иваныч!..

Это признание, вырванное отчаянием, обрадовало Якова Ивановича. О, он был прав, а женщины упрямы, как кошки... Если бы можно было вернуться назад каким-нибудь чудом и поднять из земли прошлое? В старике с страшною силой проснулась бессильная жадность, и его маленькие глазки засверкали.

— Знаете, что я вам скажу? — заговорил он, взволнованный желанием сказать Антониде Васильевне что-нибудь неприятное и хоть этим выместить на ней собственную правоту. — Нынче так не сделают, да! Нынешние примадонны умнее и этих сентиментальностей не признают... Стоило тогда ломаться!

— Нынешние примадонны?

Антонида Васильевна покраснела остатком своей старческой крови и молча указала Якову Ивановичу на дверь.

— Уйду, сам уйду-с... — бормотал он, спо-

хватившись, что пересолил. — И дернуло же за язык с нынешними примадоннами... А все-таки я прав.

— Да, вы правы, но уходите... все правы... я оскорблена именно этим.

Очутившись на улице, Яков Иванович долго стоял на тротуаре и никак не мог понять, как это все вдруг вышло: сидел на диване и вдруг — вон... что же это такое?.. Он вернулся, постучал в дверь, но ответа не последовало.

II

Ровно сорок лет тому назад, в такой же ненастный осенний день Антонида Васильевна сидела в своей комнате перед зеркалом и старательно закручивала прядь своих белокурых волос в папильотки. В этот момент в комнату вбежали две девушки и в один голос закричали:

— Смотрите, смотрите: медведи!

— Смотрите: собаки!

Театральная квартира была как раз напротив театра, и по чистенькой городской улице медленно двигалась целая вереница телег. В каждой телеге сидело по четыре собаки и при них «человек». Собаки, истомленные длин-

ным путешествием и промокшие под дождем, равнодушно смотрели по сторонам. Сопровождавшая их прислуга была одета в однообразный охотничий костюм: короткие серые куртки с серебряными пуговицами, широкие синие шаровары, барашковые высокие шапки с красными свешивавшимися на один бок курпеями[279] и красные широкие кушаки. У борзятников, выжлятников[280] и доезжачих были свои собственные серебряные значки, прицепленные к левому плечу, и у каждого за поясом по кинжалу. Это была настоящая псовая охота, обставленная со всею роскошью. Когда первый обоз, состоявший из двадцати пяти телег, миновал; за ним показались громадные дроги, на каких возят тяжести. На дрогах были поставлены большие клетки из полосового железа, и в каждой клетке сидело по живому медведю. Всех дрог было пять, по числу медведей, и в каждые было заложено по три тройки. Понятно, что такая необыкновенная процессия взбудоражила город, и по улице За поездом бежала Целая толпа.

— Да это зверинец!.. — говорил кто-то из

девушек в театральной квартире.

— Нет, барская охота, как у нас в Расее... — заметила крепостная няня Улитушка, состоявшая бессменно при театральных барышнях.

— А медведи зачем, няня?

— Псов натравливать, чтобы злее были... У настоящих господ всегда так делают.

Естественным являлся вопрос, чья же это охота, но именно на него никто не мог ответить. В Западной Сибири крупных помещиков не было, а золотопромышленники-раскольники не имели и понятия о настоящих барских потехах.

— Нужно узнать, няня, — решила Антонида Васильевна, занятая небывалым зрелищем. — Сходи к Павлу Ефимычу и спроси...

— Так и пошла: нашли девочку! — ворчала старуха, — Няня, да ведь всего два шага?..

— У, баловницы!.. Да и Павла Ефимыча дома нет.

— Все равно, от камердинера узнаешь...

Старушка всегда ворчала, но баловницы умели заставить ее сделать по-своему, как было и теперь! «Ну, ин, схожу... не отвяжешься

от вас».

— Бедные медведи, как им тяжело сидеть в этих клетках! — жалел кто-то из девушек, провожая глазами дроги. — Разбило их дорогой. Вон, посмотрите, один лижет железную полосу… Бедняжка, он пить хочет.

Один из медведей стоял на задних лапах, ухватившись передними лапами за переплет решетки, и смешно поводил мордой. Он чутко нюхал городской воздух и глухо кряхтел. Лошади фыркали и косились. Какие-то бойкие городские мальчишки подбегали к самым дрогам и ухали на любопытных зверей…

— Вот я вас!.. — кричал главный доезжачий[281], замахиваясь на ребят толстым арапником.

Антонида Васильевна задумчиво проводила глазами весь обоз, и ей вдруг сделалось грустно. Неужели этих медведей будут травить громадными меделянскими собаками? Ух, страшно!.. Бедные, как им тяжело сидеть в своих клетках. Что-то такое тяжелое и горькое заныло в груди девушки: ведь и она тоже сидит в своей клетке.

— Няня, няня, ну что? — кричали девушки,

веселою гурьбой обступая возвратившуюся Улитушку. — Чья это охота?

— Ох, отстаньте... — отмахивалась старушка. — Чего пристали-то, как осенние мухи? Вот и не скажу... Павел Ефимыч на репетицию велел идти. Вот вам и охота...

— Нянюшка, миленькая...

— Барская охота, известно... Заводчик тут есть, Додонов по фамилии, — ну, так его и охота.

Театральная квартира помещалась в двухэтажном деревянном доме с мезонином. В нижнем этаже жили актеры, а в верхнем — актрисы. Сам антрепренер Крапивин помещался в мезонине, наверху. Эта труппа в Загорье являлась первой и пока еще только готовилась к спектаклям. Театр тоже был недавно построен, и в нем еще пахло известкой, глиной и свежим деревом. На репетицию ходить не составляло особого труда: перешел улицу и — в театре. Актеры уходили раньше, а за ними уже являлись актрисы, под надзором Улитушки.

Когда все собрались в театре, там только и разговору было о проехавшей мимо охоте и о

не известном никому Додонове. Предположениям, догадкам и шуткам не было конца.

— Он и оркестр свой везет, — рассказывал капельмейстер Яков Иванович, толкавшийся на репетициях около женских уборных. — Да-с, двадцать пять человек музыкантов... Большой любитель музыки. В Краснослободском заводе у него и театр построен.

— Кто же будет играть в театре?

— А уж этого я не знаю... Спросите у Павла Ефимыча.

Комик Гаврюша (он же и декоратор) заметил, что, вероятно, у Додонова медведи будут давать представления. Всезнающий Яков Иванович сообщил, между прочим, что Додонов живет в Петербурге, где у него настоящий дворец и царская охота. Теперь он вздумал приехать на Урал, чтобы осмотреть свои заводы. Мужчины шептались и хихикали между собой, передавая подробности, как сегодня через город в закрытых повозках провезли в Краснослободский завод целый гарем, — Додонов был холостяк и любил женщин. Яков Иванович весело подмигивал и щелкал языком, как скворец.

— Хороший человек этот Додонов и умеет пожить... А что касается представлений на его театре, то я полагаю так, что ему без нас не обойтись. Вот Антониде Васильевне прекрасный случай показать свои таланты... При ее красоте и талантах все возможно-с....

На репетициях царил строгий порядок, и Крапивин не терпел закулисных сближений и вольностей. За каждый недосмотр головой отвечала Улитушка, на попечении которой находилось целых пять актрис. Теперь ей стоило большого труда удержать свою команду в уборных, да и актеры точно сбесились: так и лезут. Особенно надоедал Яков Иванович.

— Ты-то с какой радости приклеился здесь, шубный клей? — ругалась с ним Улитушка, загораживая спиной дверь в уборную Антониды Васильевны. — Твое дело на скрыпке скрыпеть. Ужо вот придет Павел Ефимыч... Способа с вами никакого нет, с озорниками!

Появление на сцене антрепренера водворило приличный порядок, и Улитушка вздохнула свободно. Крапивин шутить не любил и держал свою труппу в ежовых рукавицах. Сегодня он заметно был не в духе и едва кивнул

головой на низкие поклоны актеров. Подвернувшийся под руку Гаврюша получил нагоняй за недоконченную еще декорацию.

— Павел Ефимыч, помилуйте, да когда же... — оправдывался комик, разводя руками. — И роль учи и декорации расписывай.

— Ты у меня рассуждать? — закричал Крапивин и, погрозив пальцем, прибавил: — Кто будет со мной балясы точить, сейчас на гауптвахту посажу... Черкну записочку генералу — и готов раб божий.

Ввиду такой угрозы Улитушка, конечно, и не подумала жаловаться, хотя Яков Иванович и показывал ей язык, спрятавшись за декорацию.

— Можно войти, Антонида Васильевна? — спросил Крапивин в дверях уборной: отдельная уборная была только у Антониды Васильевны, как у примадонны и главной надежды всей труппы.

— Можно.

Быстро оглянув девушку, Крапивин присел к столу с зеркалом и широко вздохнул. Ему на вид было под сорок, но для своих лет Крапивин сохранился очень хорошо. Широкий в ко-

сти, плотный и сухощавый, он еще был хоть куда. Умное лицо с большими темными глазами нравилось женщинам, и только на лбу собирались преждевременные морщины. Дома и в театре ходил он в короткой бархатной куртке, всегда застегнутой наглухо.

— Вы свой номер приготовили? — небрежно спросил он, ероша русые кудри и думая о чем-то другом.

— Да... Я отлично выучила.

Девушка всегда немного конфузилась в присутствии Крапивина, который говорил ей «вы» и резко выделял ее из остального женского персонала. Держал он себя с ней слишком вежливо для антрепренера.

— Я на вас надеюсь... — коротко ответил Крапивин и прибавил — Сегодня на репетицию будет сам генерал.

— Как же я в папильотках буду петь?

— Ничего... Старик добрый. Он расспрашивал меня, и я вперед похвастался вашим пением.

Этот мимоходом брошенный комплимент заставил Антониду Васильевну покраснеть, и она почувствовала, как в груди у нее сердце

забило тревогу.

— Главное — костюм... — продолжал Крапивин, отбивая по столу красивым длинным пальцем дробь. — Впрочем, я сам посмотрю, когда все будет готово. Кстати, генерал мне говорил... Вы, вероятно, видели сегодня этот дурацкий поезд с собаками?

— Да... и медведи...

— И медведи... Так генерал предупредил меня, что этот Додонов — большой меломан и, вероятно, сделает труппе предложение отправиться к нему на завод... Все будет зависеть от генерала, и я, право, не знаю, как отказаться от подобной чести.

— Зачем же отказываться?

Лицо у Крапивина вдруг нахмурилось, и он быстро вскинул глазами на смутившуюся от этого быстрого взгляда девушку. Он даже раскрыл рот, чтобы что-то высказать, но удержался и только торопливо тряхнул своими кудрями.

— Там увидим, — бормотал он, уже ласково глядя на Антониду Васильевну.

Когда Крапивин вышел из уборной, Антонида Васильевна опустилась на стул в слад-

кой истоме. Она теперь поняла все: Крапивин ее любит больше, чем антрепренер. У ней кружилась голова от незнакомого ей чувства охватившей радости. Как ей дороги показались теперь эти голые стены, колченогая мебель и вообще вся убогая обстановка уборной, — вот здесь сейчас тихо и радостно зародилось ее первое девичье счастье, и молодое сердце ударило в такт с другим сердцем. Девушка поняла и смутную тревогу Крапивина, который вперед ревновал ее к Додонову. Она посмотрела на себя в зеркало, выпрямилась и гордо улыбнулась.

— Генерал приехал, — шептала Улитушка, Врываясь в уборную. — Приехал и сел в передний ряд. А плут Яшка так под самым носом у него и лебезит...

В дверь постучал Гаврюша, — он исправлял и режиссерские обязанности. Нужно было выходить. Антонида Васильевна на скорую руку повязала голову тюрбаном, перекрестилась и уверенно вышла из уборной. Этот тюрбан очень шел к ней и сразу понравился генералу, который назвал ее турком. Она исполнила свой номер отлично, молодой голос лег-

ко и свободно разливался в пустой зале.

— Одобряю! — громко повторял генерал и даже в такт стучал костылем.

Это был настоящий николаевский генерал, высокий, плотный, остриженный под гребенку и туго затянутый в военный мундир с узкими рукавами, раструбом закрывавшими верхнюю часть кисти руки. Седые бакенбарды от самого уха шли полукругом к щетинистым усам. Широкое красное лицо с большим носом глядело грозно. Одна генеральская нога была контужена еще под Браиловым в турецкую кампанию 1827 года, и старик ходил с коротким костылем, который служил в то же время и орудием домашних мер исправления. Вытянувшийся в струнку молоденький адъютант везде сопровождал генерала, как тень, и ловил каждый его жест.

— Ваше высокопревосходительство, как вы находите? — почтительно спрашивал Крапивин, заходя к генералу сбоку.

— Одобряю... А впрочем, братец, сюртук нужно надевать, да, сюртук.

— Слушаю-с... Рады стараться, ваше высокопревосходительство.

— Ты должен другим служить примером... Я не люблю беспорядков. Даже турки — и те свой порядок знают...

Довольный своим каламбуром, старик отправился за кулисы и ласково потрепал Антониду Васильевну по заалевшейся щеке.

— Ну, турок, старайся... Мы будем смотреть и молодеть... А я здесь живу, как отец в большой семье... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство — звонко отвечал адъютант, делая под козырек.

— Будьте и для нас родным отцом, ваше высокопревосходительство, — говорил Крапивин, беря Антониду Васильевну крепко за руку.

Генерал отступил на несколько шагов, смерил глазами стоявшую перед ним парочку и, весело улыбнувшись, ответил:

— Нет, не родным, а посаженым отцом согласен быть, хе, хе, хе!..

Антонида Васильевна вырвала свою руку и, зардевшись, скрылась в уборной. Это еще больше рассмешило генерала, и он, возвращаясь из-за кулис, несколько раз повторил:

— Турки всегда бегают от русских… Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

— Всегда бегают, пока их не возьмут в плен…

III

Появление первого театра в Загорье всецело обязано было генералу. Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью. Генерал был всесилен и при некоторой пылкости воображения мог бы строить пирамиды. Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал.

Труднее было организовать первую труппу, но и тут дело уладилось чуть ли не само собой. Подвернулся кочевавший по ярмаркам средней России антрепренер Крапивин, который и согласился ехать в Сибирь. Правильно поставленные труппы тогда существовали только в столицах да по богатым помещи-

чьим имениям. Иногда еще появлялись бродячие труппы на бойких ярмарках, как и полуцыганская труппа Крапивина. Получив приглашение в Сибирь, он вынужден был потерять полгода, прежде чем обставил себя приличными силами. Актеры еще были — военные в отставке, прогоревшие помещики, выгнанные со службы чиновники, но актрис, как свободной профессии, почти не существовало. Порядочные девушки не могли поступать на сцену уже — потому, что быть актрисой считалось зазорным, а крепостные артистки были недоступны. У Крапивина явилась отчаянная мысль самому создать собственных актрис. С этой целью он отправился в Орловскую губернию, в имение недавно умершего помещика меломана, у которого был свой домашний театр и при нем театральное училище, и здесь законтрактовал шесть девочек-подростков на особых условиях. Наследники меломана были рады выгодной афере и отпустили своих воспитанниц под надзором няньки Улитушки, которая должна была отвечать головой за целость доверенного ей живого товара. Девочки все до

одной были крепостные — дочери дворовых и крестьян. Воспитанные в училище «полубарышнями», как говорила Улитушка, они были рады отправиться в неизвестную даль. Сам Крапивин, на их счастье, был очень порядочный человек и страстный любитель сцены. Он постарался обставить свою труппу, чтобы она не походила на ярмарочные балаганы, — средства были обеспечены вперед.

Прежде чем отправиться на Урал, Крапивин на пути дал несколько пробных спектаклей, чтобы определить собственные силы и чтобы труппа вообще, выражаясь технически, спелась. Как оказалось, выбор был сделан недурно, и молодые артистки производили просто фурор, особенно в среде помещичьей публики. Сразу выдались Антонида Васильевна, как хорошая певица и драматическая актриса, а потом балерина Фимушка (у орловского меломана было обращено особенное внимание на балет). В Симбирске у Крапивина произошла неприятная история из-за этих примадонн: привязались два помещика, которые сначала ухаживали за актрисами, а потом хотели их украсть. Когда последнее не

удалось и они узнали, что актрисы крепостные, то поклялись, что их купят, несмотря ни на какие контракты. Крапивину ничего не оставалось, как спасаться бегством от закулисных героев, и он бежал, поплатившись за свои быстрые успехи декорациями и частью театрального гардероба. Это было хорошим уроком для человека, который ехал в Сибирь, — приходилось держать ухо востро.

— Ты у меня смотри, старая! — каждое утро грозил Крапивин являвшейся к нему с докладом Улитушке. — Без соли съем, ежели что...

— И то стараюсь, Павел Ефимыч: все глазыньки проглядела...

Некоторым утешением для Крапивина являлось то, что в Сибири не было помещиков, следовательно, не могло быть и симбирских неприятностей, а купцы не посмеют грабить его. Конечно, были здесь богатые золотопромышленники-раскольники, потом крупные заводчики, но первые жили по-старинному, а последние не показывали носа на Урал. Все-таки, во избежание недоразумений, Крапивин, по приезде в Загорье, немедленно явился

к генералу и объяснил ему все начистоту.

— Не беспокойся, братец: я здесь один отец для всех, — успокоил его старик, любивший театр. — Гусаров у нас нет, а с остальными мы справимся, в случае чего... На гауптвахту — и конец делу.

— Я маленький человек, ваше высокопревосходительство, защитите.

— Хорошо, хорошо... У меня все по-семейному.

Старик генерал был главным горным начальником и пользовался почти неограниченною диктаторскою властью. Крепостное горное положение являлось государством в государстве, и недаром старик называл себя под веселую руку царем.

Обеспечив себя с этой стороны, Крапивин постарался обставить себя и дома, как в неприступной крепости. Поместившись в мезонине, он мог видеть каждый шаг. Актрисы не имели права делать ни одного шага без его позволения. Когда комик Гаврюша бренчал на разбитых фортепьянах, помогая Антониде Васильевне разучивать оперные нумера, Улитушка сидела около него с чулком в руках и

не спускала глаз. То же было и с Яковом Ивановичем, когда под его скрипку выплясывала Фимушка любимые публикой характерные танцы.

— Гаврюша ничего, а Яшки я боюсь: хитер пес, — жаловалась Улитушка. — Того и гляди набалует. Очень уж у него глаз вострый да масленый.

Ввиду такой опасности Крапивин заставлял Антониду Васильевну разучивать нумера при себе. Он все сильнее и сильнее привязывался к даровитой девушке, делавшей быстрые успехи. Репертуар был небольшой, но тщательно составленный: оперы — «Семирамида», «Белая дама», «Тоска по родине», трагедии — «Коварство и любовь», «Дмитрий Донской», драмы — «Она помешана», «Дитя, потерянное в лесу», комедии — «Урок дочкам», «Заемные жены», «Три султанши», «Жена и зонтик» и целый ряд веселых старинных водевилей — «Архивариус», «Ночной колокольчик», «Лорнет» и т. д. Больше всего Крапивин рассчитывал на две пьесы, которые и ставил на первый раз с особенною тщательностью:

«Параша Сибирячка» Полевого и «Русская свадьба» Сухонина. Он видел эти пьесы в Петербурге и хотел удивить провинциальную публику. Кроме того, Антонида Васильевна разучила несколько модных романсов.

— Нам придется создавать здесь театральную публику, — объяснял Крапивин своей примадонне, с которою обращался по-товарищески. — Дело не легкое, но мы будем работать вместе.

— Я боюсь генерала, Павел Ефимыч, — наивно признавалась Антонида Васильевна, выращенная в страхе божием и барском.

— Пустяки... Старик добрый.

Дома актрисы ходили в простеньких ситцевых платьях и вообще одевались скромно. Театральный гардероб тоже был невелик, потому что невозможно было обставить сразу целый театр. Но все это сравнительно являлось пустяками, а Крапивина беспокоила мысль о том, как бы выкупить своих артисток на волю. Конечно, он мог сначала откупить одну Антониду Васильевну, но такое преимущество поставило бы его в фальшивое положение пред остальными, тем более что

он положительно чувствовал себя неравнодушным к примадоннам. В нем боролись антрепренер и любовник.

Первое представление сошло блистательно. Присутствовал сам генерал, а следовательно, вся его свита и целый штат горных инженеров. Набрались в ложах местные чиновники и купцы с семьями, а один золотопромышленник купил целых пять лож, чтобы угодить генералу, но сам в театр не посмел явиться, опасаясь своих начетчиков и исправленных попов с Иргиза[282]. Одним словом, набралась чисто сибирская публика. В новеньком занавесе уже были проверчены хористками дыры, и любопытные глаза рассматривали сидевших в партере.

— Додонов здесь, — шушукались между собой актрисы. — Сидит рядом с генералом.

Последнее известие сильно взволновало Крапивина. Он инстинктивно боялся этого человека, напоминавшего ему оставленную там, далеко, помещичью Россию. Он даже боялся подойти к занавесу и посмотреть на своего неприятеля. Антонида Васильевна тоже заметно волновалась, но старалась не выдать

себя. А Додонов сидел и весело разговаривал с генералом. Это был среднего роста, средних лет господин, одетый в статское платье. Но сюртук не мог скрыть военной выправки. Додонов когда-то служил в одном из дорогих полков и по одной истории вышел в отставку с чином полковника. Круглое усатое лицо глядело большими усталыми глазами. Когда Додонов улыбался, у него неприятно оскаливались десны. Массивная золотая цепь, болтавшаяся на пестром бархатном жилете, и толстый перстень с большим солитером на большом пальце левой руки выдавали записного столичного щеголя. Он сидел, заложив одну короткую ногу на другую, и не обращал никакого внимания на почтительно сидевшую в партере публику.

— Я тоже люблю театр, ваше превосходительство, — говорил он, немного картавя и растягивая слова.

— Отличное дело, отличное дело... Необходимо развивать вкус в публике.

— У меня будет свой театр, ваше превосходительство. Надеюсь, что вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением, когда,

конечно, все будет устроено.

— Непременно, непременно.

Генерал вообще был в духе и милостиво шутил с окружающими. Когда он аплодировал, остальные неистово его поддерживали. В одном месте он резко оборвал Якова Ивановича.

— Вторая скрипка врет.

«Параша Сибирячка» прошла отлично, и сам генерал вызывал Антониду Васильевну. Додонов молчал и только мельком взглянул на раскланивавшуюся примадонну прищуренными глазами. Этот взгляд сильно смутил девушку, и она чувствовала его на себе все время, — он ее точно связывал и лишал необходимой свободы.

Танцевавшая в антракте Фимушка вызвала целую бурю восторга, генерал даже стучал своим костылем, а Додонов аплодировал ей, улыбался и еще сильнее щурил свои глаза.

— Каковы у меня актрисы, полковник? — хвастался старик. — Хоть сейчас в столицу... Конечно, они еще молоды...

— С молодостью еще можно помириться, ваше превосходительство.... Это такой недо-

статок, который исправляется сам собой.

— Ты думаешь?.. Полковник, смотрите, у меня строго. Ни-ни!..

Вызванный Крапивин раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу. Додонов внимательно рассматривал его в золотой лорнет, а потом, не дождавшись конца спектакля, ушел. У Крапивина точно гора с плеч свалилась, когда он увидел рядом с генералом пустое кресло. Но Крапивин поторопился обрадоваться: Додонов сидел в уборной Фимушки и как ни в чем не бывало забавлялся смущением перепуганной крепостной танцовщицы. Улитушка попробовала было загородить ему дорогу в уборную, но Додонов оттолкнул ее, как тряпичную куклу.

— Пропала моя головушка... — причитала старуха, поймав Крапивина. — Так прямо и лезет в двери, бесстыжие глаза. Легкое место сказать: Фимушка-то чуть не голая там с ним сидит.

Крапивин весь побелел от бешенства, но что делать с нахалом? Выгнать его — значило оскорбить генерала. Но опытный и бывалый

человек нашелся; отдан был приказ Якову Ивановичу играть какой-то испанский танец, и Фимушка была освобождена. Она танцевала теперь с особенным усердием и немедленно после своего номера, под конвоем Улитушки, была препровождена на квартиру. Додонов посидел несколько времени один, а потом надел картуз и вышел. Вся труппа вздохнула свободнее, когда его широкая спина скрылась в проходе со сцены в буфет. Антонида Васильевна сидела в это время в своей уборной, затворив двери на крючок, — ее била лихорадка, как и в Симбирске.

«Если так дело пойдет и здесь, то мне опять придется бежать», — думал про себя Крапивин, решившийся бороться отчаянно.

После спектакля генерал тоже явился за кулисы и потребовал «турка». Когда девушка, не успевшая еще переодеться после «Русской свадьбы», вышла к нему в своем красном сарафане, он по-отечески расцеловал ее в обе щеки и проговорил:

— Одобряю, милашка... Есть талант. Молода еще, всего не поймешь сразу, но старайся. Так, Гоголенко?

— Совершенно верно-с, ваше высокопревосходительство.

— Весьма одобряю...

Со стороны генерала особенной опасности не предвиделось: он был женатый человек, да и его собственные лета служили лучшим обеспечением. Старик действительно любил сцену, и только.

Первые же спектакли показали, что существование труппы в Загорье совершенно обеспечено. Главною поддержкой всего дела являлся все-таки генерал, который не пропускал ни одного представления. После первого спектакля Додонов больше не показывался в театре. Крапивин лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь, и с раннего утра до позднего вечера не знал отдыха. Он был один и везде должен был поспеть в свое время. Единственным его отдыхом были те немногие часы, которые он проводил в комнате Антониды Васильевны, — у ней была своя комната, как и уборная.

— Нужно серьезно относиться к делу, — поучал Крапивин свою первую ученицу. — Первые успехи еще ничего не значат. Даром

ничего не дается... Для сцены стоит поработать. Нас после помянут добрым словом.

Старая Улитушка была очень недовольна этими беседами с глазу на глаз. «Вот еще моду затеяли, на что это похоже?.. Отвечать-то перед господами кому придется?.. А девка молодая, долго ли до греха?..» Другие девушки ревновали Антониду Васильевну и посмеивались над старухой, особенно беззаботная и простоватая Фимушка.

— Ох, согрешила я с вами! — стонала старуха и даже отплевывалась. — Вот ты, Фимка, ногами дрыгаешь, а того и не подумаешь, что и ноги-то у тебя не свои.

— А чьи, няня?

— Известно, чьи — господские... Вся ты чужая, Фимка!

IV

Перед рождеством генерал пригласил Крапивина к себе. Антрепренер надел свою лучшую пару и отправился с визитом не без некоторого опасения. Когда извозчик подвозил его к высокому двухэтажному зданию с мезонином, колоннами, террасой и двумя балконами, он предпочел бы лучше вернуть-

ся домой. Утро стояло морозное, и стоявшие у подъезда лошади нетерпеливо вытанцовывали лихорадочную дробь. В передней уже ожидали своей очереди несколько горных чиновников и два подрядчика. Крапивин скромно поместился в уголке и здесь терпеливо ожидал своей очереди. Швейцар из отставных солдат появлялся в дверях и выкрикивал фамилию очередного. Крапивину пришлось ждать недолго — швейцар пригласил его не в очередь.

Передняя с комнатой, где дожидались посетители своей очереди, помещалась в нижнем этаже. Широкая мраморная лестница вела вверх, где расположена была генеральская казенная квартира.

— Обождите малость здесь, — задыхавшимся шепотом предупредил швейцар, оставляя Крапивина во второй приемной наверху.

Од вернулся сейчас же и молча распахнул двери в большой зал с паркетным полом. Из этой комнаты одна дверь вела в гостиную, а другая в кабинет. Генерал сидел у письменного стола в «вольтеровском» кресле; Гоголенко

скромно помещался в уголке, между письменным столом и шкафом с бумагами.

— А, это ты, братец! — заговорил генерал, не глядя на вошедшего и милостиво протягивая ему два пальца.

— Не замедлил явиться, ваше высокопревосходительство...

— Спасибо за исправность... А я тебя, братец, пригласил затем, чтобы поблагодарить... Да, спасибо. Отличная у тебя труппа.

— Вы очень снисходительны, ваше высокопревосходительство.

— Нет, зачем? Что хорошо, то хорошо... Одобряю. Даже столичные люди, и те приходят в восторг... Мне весьма лестно. Вчера был у меня полковник Додонов и тоже одобрял. Он большой меломан и знает толк... гм... да... Так вот этот полковник Додонов и пригласил меня к себе на завод. У него там театр домашний выстроен... вся обстановка... Так как в субботу труппа свободна, то полковник Додонов и делает тебе приглашение играть у. него. До завода-всего пятьдесят верст, зимой это три часа езды... Все расходы и лошади на счет полковника Додонова. Предложение выгод-

ное для тебя и лестное для меня... Ну, что же ты молчишь?

— Я, ваше высокопревосходительство... если, конечно, вы, ваше высокопревосходительство... вообще я очень благодарен вашему высокопревосходительству.

— Я это знал и вперед выразил свое согласие полковнику... В следующую субботу мы, значит, увидимся с тобой в Краснослободском заводе.

— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство...

— Постарайся не ударить лицом в грязь... Не так ли, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

Крапивин побледнел, как полотно, но ничего не возражал, — это было бесполезно. Генерал не выносил противоречий. Когда Крапивин, откланявшись, выходил уже из двери, старик окликнул его.

— Вот что, братец... Если ты сомневаешься за безопасность своей труппы, то могу тебе поручиться. Полковник, конечно, большой аматер[283] и любит хорошеньких женщин,

но во-первых, у него своя труппа есть для этого, а во-вторых, мы ему пропишем такую Симбирскую губернию... У меня все по-семейному, и я не посмотрю, что он полковник!

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!

Домой Крапивин вернулся, как в тумане. У него все вертелось в голове. Как избыть налетевшую беду? Пожалуй, это будет похуже симбирских помещиков, да и бежать дальше уж было некуда.

— Позовите ко мне Антониду Васильевну, — сказал он кому-то из попавшихся навстречу актеров.

Когда девушка пришла в мезонин, Крапивин довольно сухо пригласил ее сесть, прошелся несколько раз по комнате и заговорил:

— Сейчас я получил большую неприятность... Генерал непременно желает, чтобы наша труппа каждую субботу ездила в Краснослободский завод и давала спектакли на домашнем театре Додонова. Вы, вероятно, стороной слышали, что за человек этот Додонов, поэтому не буду распространяться о нем... Рассориться с генералом я не могу, и

остается одно средство спасения: бежать опять. Вот я и пригласил вас, Антонида Васильевна, чтобы серьезно посоветоваться, что делать. Я на вас смотрю, как на лучшую надежду всей труппы... вы уж большая... наконец, вы хорошо знаете меня.

Эта откровенность сначала смутила Антониду Васильевну, но потом она прямо посмотрела в глаза Крапивину и проговорила тихо:

— Откровенность за откровенность, Павел Ефимыч: вы боитесь за меня?

— Если хотите, да... я именно за вас боюсь...

— Напрасно... Я слишком уважаю свое положение, чтобы променять его на какое-нибудь другое.

Крапивин ласково взял ее за руки и со слезами в голосе заговорил:

— Дитя мое, я верю вам... я не могу не верить. Но для всякого страшно одно: человек не знает самого себя. Я понимаю, что в вас сейчас говорит известное чувство благодарности, наконец, в вас есть хорошие привычки и то, что называется порядочностью, но есть также богатство, роскошь... Устоите ли вы пе-

ред страшным соблазном? Богатства я вам не могу обещать... напротив, перед вами жизнь, полная лишений и труда. Наша профессия даже не пользуется необходимой степенью уважения, и особенно женщине приходится выносить много несправедливостей. Вы знаете, как смотрят на актрис наши театральные меломаны...

Крапивин вообще говорил недурно, а теперь он увлекся.

— Искусство святая вещь, а сцена — это верх всякого искусства. Вашими слезами будут плакать тысячи зрителей, они же будут смеяться вашим смехом, а вы будете проводить в темную и необразованную массу идеи истины, добра и красоты. Хорошая сцена воспитывает массы, она вносит в ежедневный обиход этой жизни свой язык и пробуждает в обществе лучшие инстинкты и стремления. Величайшие умы работали для театра, чтобы этим путем провести в жизнь свои заветные убеждения, назвать каждый порок его настоящим именем, обличить неправду и сказать ласковое, хорошее слово тем, кому жизнь тяжела... Ах, нет, вы еще не можете понять все-

го! — как-то застонал Крапивин и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. — Вы потом, когда-нибудь поймете меня.

Действительно, эта убежденная речь была понятна девушке только вполовину, а Крапивин говорил с ней слишком возвышенным языком. Ей более понятно было то, что слышалось в интонации, в страстных переливах голоса и во взгляде собеседника. Раньше ей льстило особенное внимание, с каким относился к ней Крапивин, но теперь она даже испугалась завязывавшейся короткости. Ей просто хотелось жить, не взваливая на себя каких-то странных обязанностей и не подвергаясь ответственности.

На этом общем совете было решено, что труппа поедет к Додонову, приняв необходимые предосторожности. Крапивин все-таки ужасно волновался, хотя и старался не выдавать себя перед труппой. Он сделался подозрительным. Актеры были слишком испорченный народ, чтобы сочувствовать ему. В этом случае он и не ошибался. Первым противником являлся тот же Яков Иванович, расстраивавший труппу своими смешками и

подмигиваниями.

— У нас не труппа, а какой-то монастырь, — вышучивал он актеров. — Конечно, Крапивину это на руку... И Антониду Васильевну в лапы забрал, да и других упустить не хочется. Жирно будет... хе, хе! Погоди, вот Додонов покажет, как добрые люди на свете живут.

Наступила и роковая первая суббота. В полдень к театральной квартире подкатило ровно десять троек, заложенных в ковровые кошевые. Из всех экипажей выделялась белая кошевая, заложенная сивою тройкой. И дуга была белая, и вся сбруя из белой лакированной кожи с серебряным набором, и колокольцы под дугой серебряные; ухарь-кучер с седой бородой сидел на облучке орлом.

— Я скажусь больной... — заявила Антонида Васильевна в решительную минуту.

— Нет, зачем же? — успокаивал ее Крапивин. — Я этого не желаю... Делайте так, как скажет вам ваше сердце. Что думаю я, вы знаете...

Прокатиться на таких тройках для всей труппы было настоящим праздником. Осо-

бенно волновались женщины, напрасно стараясь скрыть свою радость от хмурившегося начальства. Крапивин своими руками усадил Антониду Васильевну в белую кошевую, вместе с нянькою Улитушкой. Балерина Фимушка тоже рассчитывала попасть сюда и была обижена, когда пришлось ехать в обыкновенной кошевой, вместе с другими. Крапивин ехал последним и на всякий случай сунул заряженный пистолет в боковой карман своей бархатной курточки. С ним рядом сидел режиссер Гаврюша.

— Взяли бы и нас, Павел Ефимыч, — просился Яков Иванович.

— У Додонова свой оркестр.

Но Яков Иванович все-таки уехал в Краснослободский завод, примостившись где-то с актрисами.

Погода стояла морозная, крепкая. Широкая дорога лентой повела в Урал, туда, где синими шапками теснились горы. Скоро начался лес, стоявший по колена в глубоком снегу. Особенно красивы были ели, обсыпанные мягкими белыми хлопьями, точно какие сказочные деревья. С гиком и свистом летели

тройки вперед, заливаясь колокольчиками, а впереди всех, как лебедь, неслась белая кошевая. Вся труппа была в восторге от этого импровизированного удовольствия, и даже Гаврюша улыбался, искоса поглядывая на молчавшего Крапивина. Антонида Васильевна заалелась на морозе всей своей молодой кровью и все оглядывалась назад, стараясь рассмотреть, где ехал Крапивин.

— Няня, как хорошо... как хорошо! — шептала она, припадая к Улитущке.

— Глупая ты, Тонюшка, вот что! — ворчала зябнувшая старуха. — Чему радуешься-то прежде времени? Павел Ефимыч вон ночь-ночью сидит...

— Ах, няня... чем же мы-то виноваты?

В одном месте заяц бойко пересек дорогу, отковылял немного в сторону и присел под елкой. Улитушка так и ахнула.

— Ох, неладно дело... — шептала она, творя молитву и отплевываясь на левую сторону. — Чтобы ему пусто было, треклятому! Обождал бы, а то прямо через дорогу. Ох, не быть добру...

В сумерки поезд уже подъезжал к заводу.

Кругом широкими валами расходились горы. Селение залегло кривыми у ладами по отлогому скату. Громадный заводский пруд уходил из глаз белою скатертью. У плотины весело дымилась и сыпала искрами фабрика. Веселые огоньки мигали по всему селению. Громадный господский дом стоял на прикрутости, недалеко от фабрики, и спускался к пруду старинным садом. Окна были ярко освещены, и, видимо, все ожидало гостей. В саду темною глыбой поднималось какое-то необыкновенное здание, с вышками и башенками.

— Это театр? — спрашивала Антонида Васильевна кучера.

— Нет, барышня... собачий дворец.

Подъезд был ярко освещен, и гостей встретила целая толпа прислуги, разодетой в русские костюмы — поддевки, красные шелковые рубахи, бархатные шаровары и круглые шапочки с павлиньими перьями. Пахнуло теплом громадного барского дома. Воздух был подкурен ароматическою смолкой. Какой-то лысый старичок принимал всех с низкими поклонами и повел гостей в нижний этаж, где приготовлена была целая квартира — три

комнаты для актрис и две для актеров. Несколько горничных помогали актрисам раздеваться и глядели на них с жадным любопытством. Крапивин осмотрел квартиру и запер на ключ маленькую дверку, выходившую куда-то в темный коридор.

— Пожалуйте к барину, — приглашал его лысый старичок. — Генерал еще не приехали, и придется подождать-с.

Крапивина повели во второй этаж, передавая с рук на руки, от одного лакея к другому. Мраморная широкая лестница была устлана ковром, по сторонам зеленела шпалера из экзотических растений. Во втором этаже открывалась целая анфилада комнат, освещенных в ожидании генерала, как перед праздником. Хозяин ждал антрепренера в своем кабинете. Это была высокая комната, обитая дорогими тисненными обоями. По стенам было развешано всевозможное охотничье оружие, блестевшее золотою и серебряною насечкой. Два шкафа по углам тоже заняты были принадлежностями охоты. Несколько турецких низеньких диванчиков и большой письменный стол составляли всю мебель. Над столом, в

простенке между двумя окнами, в тяжелой золоченой раме висела большая картина. Конечно, это была голая красавица, валявшаяся на пестрой тигровой шкуре. Додонов дома ходил в пестром шелковом бешмете и в турецкой фесе. Он не протянул руки Крапивину и не предложил стула.

— Генерал передал вам мои условия, — с легкою картавостью проговорил он, передавая пакет. — А это мой задаток. Надеюсь, господа артисты не будут на меня в претензии.

— Я думал бы свести счеты потом, — Пожалуйста, без возражений.

Выходя из кабинета, Крапивин думал: «Вот мерзавец!» Он, не разорвав конверта, сунул пакет в боковой карман, где лежал пистолет. Следующею неприятностью для него было то, что он нашел актеров в буфете, где их угощал лысый старичок. Актрисам был подан чай.

— Мне придется, пожалуй, играть одному, — заметил Крапивин, указывая старичку на бутылки.

— С холоду только погреться... немножко...

— Все это так, но не лишнее было бы спросить и меня.

— Слушаю-с.

V

Генерал заставил себя прождать до девяти часов вечера. Согревшись после холода, актрисы дремали, а Фимушка, привезенная для какого-то номера в дивертисменте, спала самым бессовестным образом. Антонида Васильевна жаловалась на головную боль, — у ней действительно глаза были красные.

— Мне нужно посмотреть сцену, — несколько раз повторял Крапивин прислуживавшемуся около актеров старику.

— Все готово, будьте спокойны. У нас порядок.

— Да ведь нужно же знать, как двери отворяются?

— Не приказано-с...

Когда последовало, наконец, приказание, актеров гурьбой повели какими-то коридорами и переходами сначала в зимний сад, а потом уже в театр. Это было совсем отдельное здание, устроенное по специальному плану. Маленькая сцена походила на игрушку, — вымощена она была так высоко, что музыканты сидели совсем в яме. Партера не было, а для

публики назначался полукруг лож. Вся обстановка этой затеи поражала роскошью. Стены и потолок расписаны в голубовато-сером тоне, с серебром; такой же занавес с довольно смелым мифологическим сюжетом — Венера рождалась из серебряной пены; ложи отделены между собой драпировками из тяжелого китайского шелка, в простенках опять шелковые полосы — одним словом, театр хоть куда. Уборная примадонны походила на бонбоньерку, выложенную серебристым атласом. Даже Крапивин ахнул, когда осмотрел все.

— Это какой-то сумасшедший, — бормотал он, шагая за кулисами. — Тут нужно не наших ситцевых актрис, а совсем другое.

Всех больше восторгался Яков Иванович, толкавшийся в оркестре. У Додонова свой оркестр состоял из двадцати пяти человек, под управлением капельмейстера-итальянца Неметти. Музыканты были набраны из своих крепостных и всюду сопровождали владыку.

Спектакль начался только в десять часов и кончился около часа. Для первого раза был поставлен водевиль «Петербургский булочник», а остальное дивертисмент: пела Анто-

нида Васильевна, танцевала качучу Фимушка, сам Крапивин декламировал монолог из «Разбойников» Шиллера. Антракты были очень короткие, так что актеры едва успевали переодеться.

Публику изображали всего двое: генерал и Додонов. Гоголенко, конечно, был тут же, но он не мог идти в счёт, как простая тень генерала. В углу одной ложи пряталась какая-то женская фигура, которая интересовала всех актеров, — очевидно, это была одна из додоновских одалисок. Яков Иванович напрасно старался разглядеть таинственную незнакомку, хотя после и уверял всех, что это замечательной красоты девушка, с огненными глазами и китайскою ножкой.

Аплодисментов и вызовов не было, а только генерал послал своего адъютанта выразить господам артистам благодарность. Крапивин вздохнул свободнее, когда все кончилось. На деле пока еще ничего страшного не было, хотя Улитушка вздыхала и морщилась больше обыкновенного.

— Это просто скучно, — решила Фимушка, когда актрисы вернулись в свои комнаты. —

Хоть бы медведей посмотреть.

Утром следующего дня труппа весело катила домой тою же дорогой и в том же порядке. Крапивин совсем успокоился. Когда он вечером распечатал конверт, в нем оказалась ровно тысяча рублей, — это было уж совсем по-барски, и можно было помириться с некоторыми неудобствами. Да и сам Додонов держался таким неприступным божеством, что лучшего и требовать было нельзя.

Любопытство труппы было удовлетворено, и Крапивин был спокоен за следующую поездку. Додонов просто дурил, не зная, куда ему девать свои миллионы. Ну, и пусть его дурит... Антонида Васильевна молчала, но она только сейчас заметила бедную обстановку и своей квартиры и театральной уборной. Она даже во сне видела свою уборную в театре Додонова, — да, это была ее уборная, устроенная именно для нее. У девушки являлось неясное и глухое чувство недовольства, нежелание выдать свое душевное настроение, особенно Крапивину. Никогда она еще не чувствовала с такою болезненною ясностью своего приниженного положения крепостной артистки, и

что-то вроде зависти мелькнуло у ней к другой обстановке.

— А ты не слушай Павла-то Ефимыча. Совсем-то не слушай: он свое, а ты свое. У мужчин у всех повадка...

— Грешно, няня, тебе так говорить...

— Не про себя говорю, матушка. И в глаза Павлу-то Ефимычу скажу... Мужчина-то куда захотел, туда и пошел, а девушке одна дорога.

— Какая?

— А такая... Будешь все знать, скоро состаришься.

Следующая поездка оказалась веселее. Генерал не приехал, и Додонов после спектакля пригласил всю труппу ужинать к себе наверх. Все время на хорах играла музыка, и дамы были в восторге. Додонов сидел в конце стола и весело разговаривал с Антонидой Васильевной. Он сам почти не пил никакого вина, но к гостям был беспощаден — прислуживавшие за столом лакеи не давали опустеть ни одной рюмке. Крапивин пил больше обыкновенного и делал вид, что очень доволен всем и всеми. Только когда Фимушка выпила лишнее и чуть не заснула за столом, он побледнел и

сморщился.

— Господа, не забудьте, что мы здесь едим и пьем из милости, — объяснял Крапивин подгулявшим артистам. — Это печальная необходимость в нашем положении, но нужно бояться прихлебательства и лакейства.

В следующий раз Додонов показал труппе свой собачий дворец и вообще всю охоту.

— Хотите посмотреть, как травят медведей? — предлагал он Антониде Васильевне.

— Ах, нет… Страшно!

— Ну, не так страшно, как может показаться издали, — заметил он, прищуривая глаза. — Знаете, какое самое страшное из всех животных?

— Тигр?

— Нет.

— Лев?

— Нет: человек.

Со своими гостями Додонов вообще держался джентльменом. Правда, проскальзывала иногда обидная снисходительность, но он умел ее очень ловко стушевать. Когда генерала не было, в театре набиралось довольно много публики, и все ложи были заняты. По-

являлся старичок исправник, потом старшие служащие с семьями. Додонов обыкновенно сидел в ложе один и на сцену не заглядывал.

— Где же гарем? — допытывалась любопытная Фимушка.

Актеры молчали, хотя и шептались между собой. Существование гарема было известно всем и больше всего интересовало гостей, но никто и ничего не умел сказать. Улитушка пробовала заговаривать с горничными, но те прикидывались чуть не глухонемыми. Лысый старичок — его звали Иваном Гордеевичем — был ласков по-прежнему, но тоже молчал.

Этот Иван Гордеевич, приезжая в город, непременно завертывал к актерам. Он «барышням» привозил конфеты, а мужчин угощал барскими сигарами. Особенно близко ласковый старичок сошелся с Улитушкой и Яковом Ивановичем. Они запирались втроем и о чем-то подолгу беседовали. Улитушка заметно скрытничала, а по вечерам от нее пахло иногда наливкой. Однажды Иван Гордеевич забрался в комнату Антониды Васильевны.

— Посмотреть на вас завернул, ангел вы наш, — объяснил он. — Довольно-таки у нас в заводе про вас разговоров. Хе, хе!

— Неужели уж других разговоров нет, как только про меня?

— Говорим обо всем... разное говорим, а под конец и сведем на Антониду Васильевну. Ей-богу-с...

— А для чего вы Улитушку наливкой поите?

— Что-то не упомню-с... При древности ихних лет их и без наливки ветром шатает, а старушка почтенная. Позвольте ручку поцеловать.

Антонида Васильевна подозревала, что происходит что-то неладное, но что именно — не могла разгадать. Ее и занимало легкое ухаживание Додонова и вместе делалось страшно. Но ведь не съест же он ее в самом деле, а отчего не подурачить такого миллионера, привыкшего к легким победам? Пугало ее, между прочим, то, что Додонов славился силой: ломал подковы и ходил один на медведя, — что такому зверю стоило схватить ее и затащить куда-нибудь в такой угол своего

дворца, откуда не выцарапаешься? При каждом удобном случае Улитушка старалась ввернуть словечко за Додонова — вот барин так настоящий барин, и все у него форменно.

— А зачем он своих крепостных девушек мучит, хороший-то барин? — спорила с ней Фимушка. — Набрал их чуть не сотню, да и запер под замок, как кощей.

— Ты еще этого и понимать не можешь: известно, барское положение. Чего им, девушкам твоим, сделается: кормят, одевают, а потом и замуж выдадут. Небось, не убудет, что поживут в холе да в неге. За счастье должны считать, что внимание обратили на их черную кость...

В Улитушке сказалось старое рабье сердце, хотя она и сама в дни своей юности немало износила горя от такого барского внимания.

VI

Последняя суббота перед рождеством осталась в памяти Антониды Васильевны навсегда. В господском доме опять ждали генерала, и артисты слонялись из угла в угол без всякого дела. Особенно скучали артистки, которым положительно было некуда деваться. Актеры

в таких случаях обыкновенно забирались во флигель к додоновским музыкантам и там коротали время за графином с водкой. Зимний вечер тянулся без конца. Фимушка, по обыкновению, спала; другие актрисы тоже дремали. Одна Улитушка старалась бодрствовать, что стоило ей громадных усилий: после мороза старуху так и позывало всхрапнуть часик — другой.

Антонида Васильевна сидела у стола и читала какую-то роль для праздничных спектаклей. Чья-то легкая рука притронулась к ее плечу и заставила оглянуться, — это была низенькая старушка в старинном сарафане с серебряными пуговицами. Она глазами показала на дремавшую Улитушку и знаками пригласила следовать за собой. В первую минуту девушка не согласилась, но потом махнула на все рукой: одолела скука... Да и старушка такая приличная на вид, а Додонов сидит в кабинете с Крапивиным. Старушка, как тень, повела ее за собою.

— Куда вы меня ведете? — спрашивала Антонида Васильевна, когда они очутились в коридоре.

— Милушка ты моя, не бойся... — ласково шептала старушка. — Послали меня за тобой... Пелагея Силантьевна прислала, потому давно ей охота тебя повидать.

— Какая Пелагея Силантьевна?

— А вот увидишь, какая... Только бы этот змей нам не встретился, Иван Гордеич. Сживет он меня со свету...

Безвыходное положение ласковой старушки тронуло Антониду Васильевну, и она пошла за ней, догадываясь, куда та ее вела. Миновав большой коридор, они свернули куда-то налево, потом поднялись во второй этаж и опять пошли по коридору. Видимо, их ждали, и невидимая рука отворила дверь в конце коридора.

— Ну, вот и пришли, слава богу, — уже весело заговорила старушка и повела гостью за руку через ряд низеньких и жарко натопленных комнат.

Кругом была самая скромная семейная обстановка. Обтянутая дешевеньким ситцем мебель, выкрашенные серою краской стены, цветы — и только. Навстречу из одной комнаты показалась невысокого роста худенькая

дама и сделала старушке знак оставить их одних.

— Извините, что я вас побеспокоила, — заговорила она приятным и свежим голосом, который совсем уж не гармонировал с ее истомленным, худым лицом и тонкими, как плети, руками. — Вы не сердитесь?

— Нет... вы желали меня видеть?

Хозяйка усадила гостью на маленький диванчик и все смотрела на нее своими неестественно горевшими глазами.

— Неужели вы ничего не слыхали про Пелагею Силантьевну? — спрашивала она, едва удерживаясь от желания расцеловать гостью. — А мне так хотелось вас видеть, видеть совсем близко. Какая вы красивая... Свежая... Я всего раз видела вас и то издали — в первый спектакль. Но о вас столько говорят... я первая без ума от вас... помните, как вы тогда пели?.. Я ведь тоже прежде пела...

Хозяйка не давала гостье сказать слово и все говорила сама, говорила торопливо, точно боялась чего-то не досказать. Время от времени она схватывала руку Антониды Васильевны и прикладывала ее к своей груди.

— Слышите, как сердце бьется... точно птица? О, я скоро умру, и лучше. А ведь я тоже была красивая, — не такая, как вы, но могла нравиться...

Пелагея Силантьевна откровенно рассказала о себе все: она дочь чиновника, бедного маленького петербургского чиновника, и познакомилась с Додоновым лет десять тому назад, когда поступила швеей к его матери. За работой она всегда пела, и голос ее погубил... У Додонова всегда был целый штат любовниц, но она его полюбила и теперь еще любит.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на его теперешних фавориток? — неожиданно предложила она и, не дожидаясь ответа, что-то шепнула ласковой старушке, вынырнувшей точно из-под земли. — Это будет для вас интересно... а потом Галактионовна вас проводит другим ходом, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

В коридоре скрипнули двери, и послышались легкие шаги. Антонида Васильевна не знала, куда ей деваться: и посмотреть ей хотелось додоновских красавиц и как-то делалось

совестно. Ведь им, наверное, будет неловко перед посторонним человеком. А в соседней комнате уже слышался смех, и шушуканье, и ворчание Галактионовны, терявшееся в сдержанном шуме голосов. Когда Антонида Васильевна вышла в гостиную, у ней зарябило в глазах — так много было девушек. Много было красивых и молодых лиц, но красавицы ни одной, и все одеты очень скромно, как небогатые швейки. Они смотрели на актрису во все глаза, и только две девушки прятались позади.

— Это новенькие... — шепнула Пелагея Силантьевна. — Еще не успели привыкнуть.

Всех девушек было пятнадцать, и Пелагея Силантьевна называла их в глаза мастерицами.

— Хотите посмотреть девичью? — предлагала она.

— Если это никого не стеснит.

— У нас попросту, без стеснений, «Девичья» состояла из ряда комнат, обставленных еще скромнее квартиры Пелагеи Силантьевны, — получалось что-то вроде меблированных комнат. В каждой кровать, комод с зерка-

лом и несколько стульев. На всех окнах занавески. Девушки сначала дичились гостьи, а потом самые смелые даже начали разговаривать с ней. Была и общая комната, в которой жили девушки, получившие отставку. В другой такой же общей комнатке помещались кандидатки в девичью, — их долго мыли и чистили, учили манерам и умению одеваться, прежде чем представить владыке. Одна комната была заперта, и Антонида Васильевна поинтересовалась узнать, что здесь находится.

— А это так... на всякий случай, — уклончиво ответила Пелагея Силантьевна, моргая глазами в сторону столпившихся девушек.

— Карцер? — догадывалась Антонида Васильевна.

— Почти... вообще, когда нужно отделить кого-нибудь. Наказаний у нас не полагается, а домашние меры...

По знаку Пелагеи Силантьевны, все девушки разошлись по своим местам. Антонида Васильевна стала прощаться. У ней было грустно и тяжело на душе.

— Посидели бы вы, голубчик, — умоляла

хозяйка. — Если бы вы знали, как мы здесь все любим вас... Когда вы поете, все девушки слушают вас из зимнего сада. В театр им нельзя показаться, так хоть издали послушают... Они меня умоляли пригласить вас сюда.

— Очень рада... я не знала этого раньше.

— А вы обратили внимание на последнюю привязанность Виссариона Платоныча? Представьте себе, совсем какая-то замарашка, а ему нравится... Конечно, она еще девчонка, ей нет и шестнадцати лет, но все-таки странный вкус.

На прощанье Пелагея Силантьевна взяла с гостьи слово, что она еще как-нибудь завернет к ним в девичью. Старая Галактионовна провела ее обратно, через второй этаж, парадными комнатами. Дорогой она спросила Антониду Васильевну:

— Ты сегодня опять петь будешь?

— Буду...

— Спой ты што-нибудь жалобное, голубушка ты наша, — самое жалобное. Это мне девушки наказывали тебя попросить... В ножки, говорят, поклонись соловушке.

— Хорошо, хорошо...

Кажется, еще никогда Антонида Васильевна не пела так хорошо, как в этот вечер. Генерал и Додонов аплодировали, а она не заставляла себя просить и начинала снова петь. Кончилось это тем, что ей сделалось дурно.

— Зачем так насиловать себя? — ворчал Крапивин, ухаживавший за нею с какими-то спиртами. — Это неблагоразумно, а этих дураков мы не удивим...

Девушка не сказала, для кого она пела. Ее била лихорадка, и зубы выделывали холодную дрожь. О, она знала, для кого пела, и благодарила бога, что могла вылить свою душу... Пусть хоть в песне узнают о воле, о любимом и дорогом человеке, о горе и радости свободных людей.

Додонов жил князем и ни в чем себе не отказывал. Краснослободские заводы давали ежегодно миллион рублей чистого дивиденда. Поездка на Урал была одной из его дорогих фантазий. В Петербурге сидеть надоело, за границей он успел побывать везде, все видел и все испытал, что можно было купить на деньги. У него были три слабости: женщины, охота и музыка. В карты он не играл и вина

почти не пил. По натуре он не был злым человеком, как не был и добрым. Жизнь вел скорее уединенную и редко где бывал... Половину дня он проводил за книгами: прекрасная библиотека в несколько тысяч томов путешествовала всюду за ним. Владея тремя новыми языками, он мог наслаждаться сокровищами всей европейской литературы. Прибавьте к этому железное здоровье, молодость, красивую наружность, — кажется, и желать больше ничего не оставалось, а Додонов был несчастнейшим человеком и скучал, как сто нищих вместе не могут скучать.

Сотни людей раболепствовали перед ним и жадно ловили каждый его взгляд, а владыка боялся наступления следующего дня, который принесет с собою новую скуку. Единственная страсть, которая еще минутами согревала его, была любовь к женщинам. Но и здесь все являлось выстроенным по известному шаблону. Продажная красота уже давно не прельщала его, а свои крепостные красавицы надоедали собачьей покорностью, — каждая новая женщина являлась только копией предыдущей. Иногда Додонов начинал нена-

видеть всех женщин и не заглядывал в девичью по месяцам. Единственным исключением являлась Пелагея Силантьевна, от которой он никак не мог избавиться. Она присосалась к нему, как чужеядное растение, и он не мог выпутаться. Это были самые невозможные отношения. Додонов даже не мог сказать, красива она или нет, как о самом себе. Его поражала кошачья живучесть этой женщины, преследовавшей его, как собственная тень. Она была с ним то ласкова, то груба до дерзости и всегда полна жизни и внутреннего огня. Всего более Додонова удивляло то, что она его любила и любила искренне. Был еще другой человек, который тоже любил его, — это лысый старичок Иван Гордеевич. Поэтому, вероятно, старик и главная метресса ненавидели друг друга всеми силами души, что забавляло иногда Додонова.

— Ну, что новенького, премудрый Соломон? — спрашивал Додонов: он по-домашнему называл старика Соломоном. — Когда ты женишься на Поле?..

— Это вы касательно Пелагеи Силантьевны?

— Да, касательно...

— Лучше уж я удавлюсь, Виссарион Платоныч... Это — аспид, а не баба. Ржавчина, купоросная кислота...

— Значит, ты ее боишься?

— Я?.. Да я ее пополам перекушу.

Паша платила тою же монетой премудрому Соломону, и не один раз у них дело доходило до рукопашной. Додонов смотрел на них и улыбался, как над иллюстрацией человеческого ничтожества. Жизнь, полная безделья и всяких излишеств, очень рано выработала из него дешевого философа-пессимиста. Чужие страдания не трогали его душу, а правды для него не было на свете. Все шло, как этому нужно было идти, и все пойдет, как тому должно быть. Каждый человек — жалкая пешка в игре невидимой руки. Гарун-аль-Рашид насчитал в своей жизни четырнадцать счастливых дней, а Гете всего одну четверть часа, да и эти счеты были сделаны под старость и едва ли соответствовали истине. Из чего же хлопотать, работать, убиваться?

Живым человеком Додонов чувствовал себя только на охоте, когда шел с рогатиной на

медведя. Нужно было чем-нибудь встряхнуть притуплённую нервную систему, и тут являлись такие ощущения, каких не переживал ни один немецкий философ. Но теперь и охота не тешила Додонова. В последний раз на медвежьей облаве он промазал по матерому зверю в пятнадцати шагах и только махнул рукой, когда медведь пошел наутек. Главный медвежатник Никита даже обругал барина за оплошку и добил красного зверя уже сам.

— Шкуру ты свезешь туда... в город... — устало приказывал Додонов премудрому Соломону. — Да чтобы голова была набита, как живая.

Эта медвежья шкура появилась на полу уборной Антониды Васильевны в городском театре. Никто не видал, как она попала туда; но все знали, откуда явился такой подарок.

Охота была заброшена, и скучавшие без дела собаки выли по ночам в своем собачьем дворце. Привезенные для травли живые медведи тоже лежали по клеткам самым мирным образом. А Додонов сидел у себя в кабинете и только по вечерам отдавал приказ, чтобы в главной зале играла музыка. Оркестр

играл в пустых комнатах, а Додонов лежал у себя в кабинете и слушал. Он закрывал глаза и старался вызвать любимую женскую тень, которая от субботы до субботы бродила по его пустовавшему дворцу. Премудрый Соломон только вздыхал, бессильный помочь барскому горю.

Когда он являлся из города, Додонов спрашивал его немым взглядом своих усталых больших глаз.

— Плохо, Виссарион Платоныч... — уныло докладывал верный раб. — Поперек дороги стал этот проклятый Крапивин.

— Я ее куплю, если на то пошло, — отвечал Додонов.

— Это бы вернее, Виссарион Платоныч...

— Убирайся, дурак!

Купить крепостную примадонну дело было самое легкое, но не этого ждал Додонов. У него своих красавиц непочатый угол. Ему хотелось, чтобы Антонида Васильевна сама его полюбила. Чем он хуже какого-нибудь несчастного Крапивина? Додонов несколько раз приглашал антрепренера к себе в кабинет и подолгу разговаривал с ним; ничего особен-

ного в нем нет, и даже старше его лет на пять. Конечно, он постоянно у ней на глазах, наконец, она находится в известной от него зависимости, но это все были пустяки.

Раз вечером Иван Гордеевич явился с таинственным видом, как собака, учуявшая дичь. Он даже облизывался от удовольствия.

— Что скажешь, премудрый Соломон?

— Суета суетствий, Виссарион Платоныч, и всяческая суета...

— Только-то?.. Ну, не особенно много даже для мудрости Соломона...

— А есть и еще весточка одна...

Старик осторожно оглянулся кругом и, подкравшись к самому уху владыки, прошептал:

— Антонида Васильевна в прошлый раз была в нашей девичьей.

— Не может быть!

— Верно-с... И всех ваших метресок видела. А надвела ее Пелагея Силантьевна...

Додонов вскочил, как ужаленный, и даже замахнулся на старика.

— Убейте, на месте убейте, — шептал съежившийся от страха Соломон, — а было де-

ло... Всю девичью обошла и обо всем расспрашивала. Теперь как я к ним на глаза-то покажусь?

— Позвать Полю сюда!

Когда явилась к ответу Пелагея Силантьевна, Додонов встретил ее отборною руганью, размахивая руками под самым ее носом; Иван Гордеевич подслушивал происходившую бурю сейчас за дверями и улыбался. Что он с ней разговаривает? Катал бы прямо с уха на ухо или отдал бы в его распоряжение...

— Для чего ты это делала, а?! — ревел Додонов, наступая на Пелагею Силантьевну. — Ты хочешь отмолчаться, змея... Нет, я из тебя жилы вытяну, на конюшню пошлю...

— Виссарион Платоныч...

— Молчать!.. Да мне на всю девичью наплевать... слышала?.. Мне надоела вся эта ваша гадость, да!.. Я знаю, чего ты добивалась: пусть-де актриса посмотрит, как Виссарион Платоныч развратничает, да?.. Так?.. Ты боялась новой соперницы, да?.. Так знай же, что ты сделала себе же хуже...

Едва заметная улыбка скользнула по бескровным губам Пелагеи Силантьевны, и она

смело посмотрела в глаза Додонову.

— Вы забываете только одно, Виссарион Платонович, — заговорила она уверенным тоном, — что за вами есть и еще кое-что, кроме девичьей...

— А, ты желаешь пугать меня... Вон!

— Вы лучше убейте меня, а пока я жива...

Додонов сильно позвонил. Когда на звонок выскочил Иван Гордеевич, он, не глядя на обоих, проговорил всего одно грозное слово:

— На конюшню!

— Я не ваша крепостная! — кричала Пелагея Силантьевна, стараясь отбиться от Ивана Гордеевича. — Я не позволю обращаться с собой, как с крепостной девкой...

— Двойную порцию этой змее, — спокойно продолжал Додонов. — Я за все отвечаю...

Когда барахтавшуюся и кричавшую Пелагею Силантьевну вытащили из кабинета и когда смолк на лестнице поднятый этою возней шум, Додонов опять позвонил, В дверях вытянулся лакей в русской поддевке. Сделав несколько концов по комнате, Додонов с удивлением посмотрел на него.

— Ты зачем здесь?

— Изволили звонить-с...

— Я? Ах, да... Иди скорее на конюшню и скажи, чтобы отпустили Полю сейчас же.

— Слушаю-с.

Как ни торопился Иван Гордеевич исполнить барское приказание, но не успел. Пелагею Силантьевну дотащили уже до корпуса конюшен, где происходили всякие экзекуции, и выскочили уже конюха, как прибежал во весь дух лакей и остановил готовившееся жестокое дело. У Ивана Гордеевича опустились руки: все было готово, каких-нибудь десять минут и — Пелагея Силантьевна не ушла бы из конюшни на своих ногах, а тут вдруг... Старик опрометью бросился наверх, чтобы проверить лакея.

— Оставить Полю, а мне лучшую тройку, — приказал Додонов, не смотря на премудрого Соломона.

Вся девичья замерла от страха, когда Пелагею Силантьевну принесли из конюшни на руках. Ей сделалось дурно, и Галактионовна долго хлопотала около больной, растирая ее разными снадобьями. Когда Пелагея Силантьевна пришла в себя, она долго хохотала и

плакала, как сумасшедшая, — с ней истерика продолжалась всю ночь.

— Он меня узнает... Я ему покажу... ха, ха!.. — заливалась она, кусая зубами подушку. — Пусть бьют... я не крепостная.

VIII

Лучшая серая тройка вихрем неслась в Загорье, а Додонов все погонял. Седой старик кучер, лучший наездник, не жалел лошадей: все равно — тройка пропала. Через два часа показался город, и загнанная тройка остановилась у театральной квартиры. Додонов вбежал прямо во второй этаж. Крапивина, к несчастью, не было дома, и Улитушка, попробовавшая загородить дорогу, отлетела в угол, как ворона.

— Мне нужно видеть Антониду Васильевну, — потребовал Додонов, располагаясь в зале, как у себя дома.

— Она не одета, — докладывала перепуганная горничная.

— Я подожду.

Антонида Васильевна учила роль, когда горничная прибежала сказать ей о неожиданном госте. Девушка даже не удивилась, точно

она ждала Додонова. Одевшись в простенькое домашнее платье и поправив волосы перед зеркалом, она вышла в залу такая спокойная и самоуверенная. Додонов сидел на диване, низко опустив голову. Скрип отворившейся двери заставил его оглянуться.

— Вы меня желаете видеть? — проговорила Антонида Васильевна, не протягивая руки.

— Да.

— Что вам угодно?

Додонов нетерпеливо оглянулся и сделал шаг вперед.

— Не беспокойтесь, нас никто не будет подслушивать, — предупредила его Антонида Васильевна.

— Раньше я не решался объясниться с вами, но вы сами дали повод... — начал Додонов, трогая усы.

— Именно?

— Вы понимаете, про что я говорю... Вы видели и знаете все и, как порядочная женщина, как девушка, не можете не презирать меня.

— Совершенно верно. Я могу только удивляться вашему присутствию вот здесь.

— Я вас не задержу. Заметьте: вы первая дали мне повод! Вы знаете меня с самой дурной стороны, и я приехал сказать вам, что... что я действительно дурной человек.

— И только?

По странному тону Антонида Васильевна приняла Додонова за пьяного, да и глаза у него были красные.

— Нет, не только! — уже резко заговорил он. — Я был дурной человек до встречи с вами... У меня открылись глаза, и я сам презираю себя. Богатые, избалованные люди везде одинаковы, с тою разницей, что делают гадости с большею или меньшею степенью откровенности. Я откровеннее других... От вас будет зависеть, чтобы я был другим человеком.

— Другим вы не будете, Виссарион Платоныч, а меня вы оставьте в покое... Если вы желаете откровенного мнения о себе, то узнайте: я вас ненавижу.

Додонов рассмеялся и прищурил глаза. Смелая речь крепостной примадонны еще сильнее разожгла его страстное чувство.

— А если я вас куплю, как крепостную? — прошептал он.

— Никогда этого не будет.

— Ага, увидим...

— Я отравлюсь, даю вам мое честное слово. Лучше честная смерть, чем позорная жизнь... От тех несчастных, которых вы держите в своей девичьей, вы этого не услышите, так выслушайте от меня.

— Вы жестоко раскаетесь в своих словах.

— Никогда. До свидания.

Додонов вскочил и умоляюще протянул руку вперед.

— Еще одно слово, — шептал он, меняя тон. — Нет такого страшного грешника, который не мог бы заслужить прошения... Я еще не встречал действительно порядочной женщины. Во мне всегда видели только деньги и деньги... Действительного чувства, серьезной привязанности я не знал до сих пор. Не заставляйте меня делать новую несправедливость. Я сдаюсь на все ваши условия, и нет такого желания, которое не было бы исполнено сейчас же.

Антонида Васильевна показала молча на дверь. Додонов поклонился, быстро повернулся и вышел. Спускаясь по лестнице, он встре-

тился с Крапивиным, но не узнал его. Крапивин остановился и проводил его глазами до экипажа, а затем быстро вбежал во второй этаж.

— Как разбойник ворвался, — докладывала шепотом Улитушка, — а Тонюшка его приняла по-своему... Не понравилось, вот и бежал.

Антрепренер пробежал прямо в комнату Антониды Васильевны. Девушка лежала за ширмочкой на своей кровати и горько рыдала.

— Что случилось, Антонида Васильевна?

— То, что должно было случиться.

— Додонов предлагал вам что-нибудь?

— Все... на выбор... Я сказала, что лучше отравлюсь.

— Дитя мое, потерпите. Сегодня я получил письмо от вашего помещика, с которым веду переговоры, относительно вольных всей труппе. Да...

— И что же?

— Слава о ваших успехах, к несчастью, предупредила мое письмо, и он требует за одну вашу свободу десять тысяч.

В ответ послышались новые рыдания. Крапивин схватил себя за голову и молчал. В окно, разрисованное морозом, смотрелся уже ранний зимний вечер. Откуда-то издалека доносился жалобный благовест. Антонида Васильевна оставалась за ширмочкой и тяжело всхлипывала. Да, она крепостная, и с ней могут сделать все, что захотят. Зачем же ее учили, зачем в ее ролях говорится о какой-то свободной жизни, о любви и радостях? Кругом так темно, и не видно просвета.

— Я думаю обратиться к генералу, — заговорил Крапивин после длинной паузы. — Старик добр...

— Что из этого выйдет?

— Во-первых, необходимо отделаться от Додонова, а во-вторых... вообще, нужно же что-нибудь делать.

— О Додонове не беспокойтесь: он во второй раз не придет.

В последнее время между Антонидой Васильевной и Крапивиным установились немного натянутые отношения, и она, видимо, избегала откровенных разговоров с ним. Определенного повода к такому положению

не было, но девушка инстинктивно стала держаться подальше, точно проверяя самое себя. Ведь она его не любила, — зачем же мучить человека напрасно? Крапивин, кажется, догадывался о душевном настроении своей любимицы и старался не лезть в глаза. Он полагался на время. Ведь она еще так молода и многого не в состоянии понять. Даже в отношения к Додонову он не желал вмешиваться, — пусть сама оценит, кто и чего стоит. Эти слезы после визита Додонова служили лучшим доказательством, что он, Крапивин, рассчитал верно. Конечно, было известное увлечение обстановкой и рассказами о Додонове, но это пройдет само собой, только не нужно навязываться с своею собственной особой.

Вопрос о выкупе крепостных актрис не давал покоя Крапивину. Если уж теперь помещик требует за одну Антониду Васильевну десять тысяч, то отчего ему не назначить пятьдесят, — произволу нет границ и конца. Иногда Крапивину приходила мысль обратиться к Додонову: что ему значило — выкинуть каких-нибудь двадцать тысяч! Эта сумма давила теперь антрепренера, как тяжелый ка-

мень. Были, конечно, богатые люди в Загорье, особенно в среде золотопромышленников, но как к ним обратиться, когда раскольничьи попы и начетчики считают театр бесоугодною пляской? Оставалось ждать и сколачивать средства из своих театральных грошей. А время уходит, и вместе с ним день за днем подтачиваются силы. Крапивин хватался за свои редевшие кудри и приходил в отчаяние. Недоставало только этой истории с Додоновым.

Слова Антониды Васильевны не сбылись: Додонов не оставил ее в покое. Он теперь почти каждый день являлся в спектакль и занимал свое обычное место в первом ряду. Когда был назначен бенефис Антониды Васильевны, — это был первый ее бенефис, — он послал ей за свое место тысячу рублей и букет из белых камелий.

— Я ему возвращу эти деньги... — заявляла Антонида Васильевна.

— Нет, не возвращайте, — советовал Крапивин. — Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной зависимости... Додонову не все ли равно, куда ни бросать деньги, а

здесь они по крайней мере пойдут на хорошее дело.

Антонида Васильевна ничего не ответила и только задумалась. Обстоятельства так складывались, что ей точно нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин советует взять деньги... После того, что она наговорила ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в театр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интриговала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким кажется. И няня Улитушка то же говорит... Приняв деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной приколоть одну камелию к своему белому платью. Она была необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.

— Если бы я был помоложе, полковник... — повторил несколько раз генерал, подмигивая Додонову. — Ведь это брильянт!..

— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют слишком дорогой оправы, — отшучивался Додонов.

По желанию генерала была устроена подписка, и бенефициантке поднесли несколько

золотых безделушек: два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной Антониды Васильевны набралось много поклонников и в том числе генерал с Додоновым. Крапивин велел подать шампанского, — пир так пир.

— В наше время пили шампанское из башмачков красавиц... — шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильевной.

— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас поцеловать, ваше высокопревосходительство... — заявила бенефициантка, покраснев от собственной смелости.

— Спасибо... Это уж совсем по-семейному.

Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках торжественного туша и громких аплодисментах набравшейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он держался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил это и проговорил:

— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, мне завидуешь?

— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше превосходительство, — ответил Додонов и сейчас же начал прощаться.

— Какой он странный... — удивлялся старик, когда Додонов вышел. — Право, очень странный. Не так ли, Гоголенко?

— Совершенно странный, ваше высокопревосходительство.

— А между тем полковник... богат... молод...

Развеселившийся генерал заставил Антониду Васильевну поцеловаться и с Крапивиным, что та исполнила очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно надулся, но девушка чувствовала себя слишком счастливой, чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала другая неприятность: комната Антониды Васильевны во время спектакля была убрана заново.

Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из бухарского шелка, китайская ширмочка служила для нее точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, обитый голубым атласом, — словом, все

заново. Конечно, это устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня пахло наливкой сильнее обыкновенного. Крапивин совсем взбесился, когда узнал все.

— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по комнате. — Я антрепренер, и все артистки у меня на ответственности.

Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и поставили на место старую мебель. Торжество закончилось для нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехорошее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она сама испугалась, как человек, который неожиданно очутился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она сделала такое, чтобы сердиться на нее, как делает Крапивин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.

— Ишь, как расходился! — ворчала Улитушка, раздевая свою «шпитонку», как она называла всех своих воспитанниц. — Небиль помешала... Ведь она, небиль-то, не виновата. А ты бы завел сам такую-то... Додонов барин настоящий, ничего не пожалеет.

— Няня, будет тебе... — оговаривала ее Антонида Васильевна, лежа в постели.

— А всегда скажу... Тоже с меня не голова снята. Да... форменный барин.

Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже неприятно действовало на Антониду Васильевну. Другие актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка высказала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бенефициантке ее торжество окончательно, и она даже швырнула свои подарки на пол.

— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй, — ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры. — Тоже не щепки, а деньги плачены... Вон Фимушка-то что говорит: «Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то у ней невелик, а тоже придумала.

Крапивин в это время ходил у себя в мезонине из угла в угол, как попавший в засаду

волк. Так-то ценят его заботы, его честность, его преданность одному искусству... Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и шелковых тряпок, чтобы разрушить всю его работу. Нет, он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, которое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Антониде Васильевне, — пусть день кончится для нее мирно. Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты своей любимицы.

— Антонида Васильевна, не спите?

Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Крапивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.

IX

С Антонидой Васильевной происходило что-то странное: она начала задумываться и скучать. По субботам труппа по-прежнему уезжала в Краснослободский завод. Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что его подарки выброшены из комнаты.

— Да, правда, — ответила она, опустив глаза.

— Это было ваше собственное желание?

— И да и нет... Сначала мне не хотелось расставаться с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что принимать такие дорогие подарки неприлично...

— Почему?

— Потому что нужно уметь за них платить, а что может дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей стороны было просто неделикатно обязывать бедную, трудящуюся девушку такими денежными подарками. Поставьте себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?

— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало... да! Разве можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое доставляется талантом?.. Нищим являюсь я, а не вы... Своим пением, своею игрой вы будите во мне живого человека... Ведь это называется воскресением из мертвых.

Они сидели одни в большой гостиной, где со стены смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида Васильевна нисколь-

ко не боялась Додонова и спокойно ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не мешал этим tete-a-tete[284] тяжелой обстановке барского старого дома Антонида Васильевна являлась для Додонова блуждающим солнечным лучом, который на мгновение освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько было чарующей прелести в этой белокурой грезовской головке, глядевшей прямо в душу Додонову своими серыми лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить этого пресытившегося человека, и она заметно оживлялась в его присутствии.

— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — спросил Додонов тихо и протянул свою руку к ее руке.

— Да, да... Мне делается гадко, когда я думаю о вашей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и так погрязнуть... Я удивляюсь, как можно унизить себя до такой степени! Есть просто известная порядочность, которая не позволяет людям делать гадости.

— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обстановки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим человека заставляют делать новые гадости?

— Что вы хотите этим сказать?..

Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись красные пятна. Ей было страшно и хорошо, но она пересилила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.

— Какие нежности, Виссарион Платоныч... Вы, кажется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам подарю ленточку на память?

Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее раньше!

— Понимаю все, — шептал он, хватаясь за голову. — Вы любите другого... Для этого другого... вы найдете и другие слова.

— Вы меня оскорбляете, Виссарион Платоныч... Не забудьте, что я у вас в гостях, и это вдвойне обидно.

Она встала и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Как он смел так говорить с ней? Про себя она повторяла каждое его слово и открывала в нем что-нибудь обидное для себя. Но не все ли ей равно, что он говорит? Антонида Васильевна обманывала себя: ее уже начинало тянуть к Додонову. В нем было что-то такое особенное, чего нет в других. Такого человека можно бы и полюбить, если бы не эта проклятая девичья... Какой-то предательский голос нашептывал ей: «Ты будешь царицей в этом дворце... жизнь польется сплошным праздником... а там, в столице, ты сама будешь наслаждаться игрой лучших артистов...» Собственная бедная обстановка начала казаться еще беднее, а жизнь игрушкой. Конечно, пока она молода и красива, все будет хорошо, но ведь красота так быстро проходит, а там, впереди — тяжелое будущее состарившейся и пережившей себя примадонны. Антонида Васильевна часто плакала, оставаясь одна, и с Крапивиным была холоднее прежнего.

А кругом нее составился целый заговор, участниками которого были Иван Гордеевич,

Яков Иванович и Улитушка. Они частенько собирались втроем и долго судили и рядили про барские дела.

— Гордячка она, — повторял Иван Гордеевич, приглаживая свою лысину. — Счастье лезет в рот, а она отвергает. По-моему, женское естество везде одинаково, и только одна барская прихоть, что подай вот эту, а остальных не надо. И нужно этим пользоваться... Другая бы даже весьма благодарна была... А уж как Виссарион Платоныч тоскуют-с. Можно сказать, спят и видят Антониду Васильевну.

— А сколько он даст за нее? — спрашивал Яков Иванович.

— Ничего, говорит, не пожалею... Пятьдесят тысяч сейчас наличными, а что касаемо подарков и благодарности — не в счет.

Яков Иванович и премудрый Соломон искренне жалели, зачем они не родились такою красавицей, как Антонида Васильевна.

— Все равно так, даром пропадет, — резонировал Соломон, — и после сама будет жалеть-с. Только будет поздно-с.

— Конечно, будет каяться, — поддакивал Яков Иванович. — Ну, выйдет она за Крапиви-

на... ну, и вытягивайся из всех жил на сцене, пока в силах, а дальше-то что?

— Эх, молодо-зелено, — качал головой Соломон.

Привлеченная к делу. Улитушка сочувствовала этим взглядам и вносила еще свою рабью покорность барской воле. Она взяла на себя трудную роль переговорить с Антонидой Васильевной окончательно, потому что сезон подходил к концу и такого другого случая не дождешься. Старуха долго ходила около своей «шпитонки», прежде чем решилась выговорить все, что лежало на ее старой душе.

— Тонюшка, а ты напрасно Виссариона-то Платоныча обегаешь... — начала она однажды вечером, когда девушка сидела перед зеркалом в папильотках и выравнивала волосы. — Вон он что говорит-то: ничего, слышь, не пожалею... Только бери. Право... Иван Гордеич говорит, что пятьдесят тысяч отдаст, а подарки особо. На волю бы выкупилась и меня, старуху, выкупила, и стали бы жить да поживать... Девичья-то память до порога.

Прислонившись к спинке стула, Антонида Васильевна смотрела на няньку остановив-

шимися от изумления глазами. Не во сне ли все это происходит?.. А расходившаяся старуха не унималась и продолжала свое:

— Тоже вот и Яков Иваныч, — ему-то какая корысть? — а он в один голос с Иваном-то Гордеичем... Добра тебе все желают, касаточка. Раз-то согрешишь, так и бог простит... Не ты первая, а с актрисами это даже и даром бывает. Подвернется какой худой человек — девушки как не бывало... А Виссарион Платоныч не обидит: в золоте будешь ходить.

— Так пятьдесят тысяч, няня?

— Пятьдесят, касаточка.

— Отлично... Я сама подумаю.

— Подумай, касаточка, господь с тобой... Этакого счастья в другой-то раз и не дождешься, а женская наша красота до времени.

Антонида Васильевна больше не плакала. Она целую ночь не сомкнула глаз и все думала... Припомнилось ей, как ее насильно взяли от семьи там, в России, и отдали в театральную школу; как она постепенно забывала своих родных, простых дворовых, и как теперь она была для них хуже, чем чужая. Впереди роскошь, богатое безделье... Ее и торгуют, как

лошадь. От денег у всех закружилась голова, начиная с несчастной Улитушки. Стоит только решиться, и широкая дорога открыта. Утром Антонида Васильевна передала няньке, что сама желает переговорить с Додоновым, и сама назначила ему час, когда он может прийти к ней, не рискуя встретиться к Крапивиным.

— Давно бы так-то, касаточка... — обрадовалась старуха.

Заговорщики торжествовали. Яков Иванович сам полетел с радостной вестью в Краснослободский завод, и в назначенный час Додонов входил в комнату Антониды Васильевны.

— Вы меня желали видеть, Антонида Васильевна?

— Да... Я желала бы слышать от вас лично все то, что мне передавали. Вы сами назначили цифру в пятьдесят тысяч?

— Послушайте, это уже известно вам, и не все ли равно, кто назначал?...

— Значит, верно?

— Да.

— И будут подарки?

— Антонида Васильевна, что за тон?

Она посмотрела на него такими печальными глазами и замолчала.

— Девичья будет уничтожена немедленно... — заговорил Додонов, поощренный этим молчанием. — Я понимаю, что это грубо назначить цифру, но ведь это только гарантия.

— Благодарю вас, что вы так оценили мой позор... и знайте, что я, я любила вас... а теперь прощайте... навсегда. Вы меня убили...

Она не выдержала и громко зарыдала. Додонов хотел по дойти к ней, но она отстранила его движением руки.

— Если так, то вот мое последнее слово: выходите за меня замуж, — предлагал Додонов.

— Замуж?.. Чтобы вы бросили меня через неделю?.. Нет, одно мгновение я думала несколько иначе о вас, и если бы отдалась вам, то не за деньги и не за честь носить вашу фамилию... Прощайте, прощайте!..

— Опомнитесь, Антонида Васильевна...

— Довольно... будет...

Видимо, ей хотелось сказать ему что-то еще на прощание, но она только махнула рукой и убежала за ширму. Додонов постоял

среди комнаты несколько минут и, стиснув зубы, проговорил:

— Тогда я вас куплю, Антонида Васильевна?

— Покупайте, как покупаете собак.

Додонов круто повернулся и торопливо вышел. У него голова шла кругом. О, он отомстит за это оскорбление!.. Какая-нибудь жалкая провинциальная актриса и так обращается с ним, Виссарионом Додоновым?.. Нет, это уж слишком...

Вечером этого же дня в театре Яков Иванович отозвал Антониду Васильевну за кулисы и, всплеснув руками, как-то простонал:

— Антонида Васильевна, что вы наделали... что вы наделали?!

— Да вам-то какая забота, Яков Иваныч?

— Бескорыстно-с, сударыня... Добра вам желал, единственно по этой причине. После меня, может, и добрым словом помянете...

— Оставьте меня!.. Вы все, кажется, помешались... А если вы еще осмелитесь приставать ко мне со своими сожалениями, я должна буду обратиться к Павлу Ефимычу...

— Нет-с, это пустое-с... Антонида Васильев-

на, в самом деле подумайте хорошенько! Если бы я был на вашем месте... да я...

— Вот и замените меня, а я буду вам очень благодарна.

— Погордились, сударыня...

— Вон!

Яков Иванович долго стоял на одном месте и все качал головой. Он даже забыл, что около театра его ожидает премудрый Соломон, приехавший из Краснослободского завода за окончательным ответом.

— Ну, что? — спрашивал он, когда показался, наконец, Яков Иванович.

— Ничего... прогнала...

Мудрецы только развели руками. Что же, своего ума к чужой коже не пришьешь...

Вся труппа уже знала о случившемся, и шушукались по всем углам. Актрисы выражали свое одобрение, актеры качали головами. Ничего не знал один Крапивин, который был занят с декоратором Гаврюшей и даже сам что-то красил и мазал, одевшись во вретище. У Гаврюши давно чесался язык, чтобы рассказать все патрону, но он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что только

кряхтел и вздыхал.

— Что у тебя, живот болит? — спросил, наконец, его Крапивин.

— Никак нет-с, Павел Ефимыч...

Гаврюша, наконец, не выдержал и рассказал все, что происходило сегодня в театральной квартире. Крапивин слушал его и понимал всего одно слово: Додонов... Додонов... Додонов. А где Антонида Васильевна?.. Потом он опомнился и закричал, как раненый зверь:

— Да ты все врешь, Гаврюшка?! Все это ваши закулисные сплетни и дрязги... Никогда и ничего не сметь мне говорить об Антониде Васильевне!

— Как вам будет угодно.

X

Дворец в Краснослободском заводе зловеще смолк. Барин затворился в кабинете, и никто не смел дохнуть. Всем собакам были надеты намордники, чтобы не лаяли. Музыка больше не играла, охота, кучера, прислуга — все попрятались по углам. Ночью только один огонек светился во всем дворце: это был освещен кабинет барина. Девичья на ночь запиралась на железные ставни, так что огня

там никогда не было вид но с улицы. Вообще получалось настоящее мертвое царство.

Бодрствовал один Иван Гордеевич, который обходил все углы и закоулки Неслышными шагами, как настоящий кот. Утром и вечером он исправно являлся в кабинет с докладом и вытягивался у дверей, как лист перед травой. Додонов молча выслушивал его и отсылал назад движением руки.

— Ты виноват кругом, — проговорил, наконец, Додонов на одном из таких приемов. — Не умел повести дела...

— Простите, Виссарион Платоныч, — каялся премудрый Соломон, падая на колени. — Старался, хлопотал...

— Дурак!

В следующий раз он, не глядя на верного слугу, отдал короткий приказ:

— Поезжай туда, в поместье... и купи мне всех актрис. Сколько будет стоить — все равно... Я покажу им, как смеяться над Додоновым...

Ровно через час Иван Гордеевич выезжал уже в легкой зимней кибитке, направляясь куда-то в Малороссию. По маршруту он дол-

жен был ехать день и ночь.

Первое известие об этой экспедиции Крапивину принес Яков Иванович, знавший решительно все, что делалось в городе и ближайших окрестностях.

— Это похуже будет симбирских помещиков, Павел Ефимыч, — заключил он свою осторожную речь. — Всю труппу, говорит, куплю и свой домашний театр открою... Оркестр есть, помещение есть, недостает только актрис.

У Крапивина буквально опустились руки от такой напасти. Он упустил удобное время для выкупа, а теперь — где же ему конкурировать с Додоновым, который бросит и сто тысяч, чтобы только добиться своего? Даже к генералу идти незачем. Старик, конечно, добр, но что он поделает с таким самодуром? Спокойною и уверенною оставалась одна Антонида Васильевна. Она теперь утешала Крапивина.

— Есть же на свете правда? — повторяла девушка. — Страшен сон, да милостив бог...

Крапивин слушал эти несбыточные надежды и на время успокаивался. В самом де-

ле, кто знает, что ждет всех впереди? Положим, это была надежда утопающего, но все-таки нужно же хоть что-нибудь, чтобы тянуть день за днем. Подробностей истории Антониды Васильевны с Додоновым он не пытался узнавать из чувства простой деликатности. Он желал верить ей, хотя и понимал, что прямого ответа на свои чувства сейчас в ней не встретит. Она не любила его, а только уважала.

В Загорье только и было толков, что о Додонове. Стоустая молва разукрасилась такими подробностями, что позавидовала бы сама Шехеразада. Рассказывали, что Крапивин бросился на Додонова с ножом, а Додонов хотел затравить его медведями; что примадонна хотела отравиться, но ее спас Яков Иванович; что сам генерал замешан в этой истории, потому что явился счастливым соперником Додонова, и т. д. Передавали о какой-то крупной размолвке Додонова с генералом, что и подтвердилось очень скоро. Рано утром, во вторник на масленице, через Загорье двигался опять целый ряд обозов. Везли медведей в железных клетках, музыкантов, целый обоз

собак, точно тронулась какая-то неприятельская армия. Медвежьи клетки были обшиты войлоком, собак везли в громадных фурах, музыкантов в крытых возках. Девичья была отправлена раньше, и ее провезли ночью. Одной прислуги, считая охоту, музыкантов и девичью, было отправлено больше трехсот человек, так что обоз растянулся на тысячу верст, на станциях не хватало лошадей, и отдельным транспортам приходилось ждать очереди. Все это двигалось опять мимо театральной квартиры, но уже не привлекало внимания.

— Это какой-то сумасшедший, — удивлялся Крапивин. — Неужели нельзя было дождаться весны?

Оказалось, что последнее было невозможно. У Додонова произошло действительно недоразумение с генералом, но не из-за примадонны, а за карточным столом. Собственно говоря, это были такие пустяки, о которых не стоило говорить, но Додонов обиделся и решился сейчас же отправиться со всею ордой в Петербург. Стоило ли дожидаться весны, когда вся разница по транспортированию за-

ключалась в нескольких десятках тысяч рублей? Но эта размолвка Додонова с генералом спасла труппу Крапивина. Очевидно, здесь деятельно работала Пелагея Силантьевна, умевшая настроить Додонова. У ней был прямой расчет избавиться от новой соперницы в лице Антониды Васильевны. Додонов жил вспышками, и только нужно было уметь воспользоваться его настроением.

У Пелагеи Силантьевны был свой план, который скоро и объяснился.

Труппа Крапивина играла на масленице каждый день. Работы всем было по горло, особенно самому Крапивину. Сезон кончался, и нужно было взять последнюю дань с публики, мало-помалу привыкшей к театру. У праздничной публики особенный фурор производила Фимушка, танцевавшая свои номера с большим шиком. На время эта крепостная балерина отодвинула на второй план даже Антониду Васильевну с ее драматическими ролями, оперными ариями и романсами. Сам Крапивин ухаживал за ней, как за главною доходною статьей.

— Попала в честь и наша Фимушка, —

удивлялась Улитушка, качая своею дряхлой головой. — За простоту ей господь счастье посылает.

Генерал по-прежнему сидел в своем кресле первого ряда и громко одобрял артистов; абонированное на весь сезон кресло Додонова оставалось пустым. Но в четверг на масленице вся труппа была опять встревожена; Додонов появился в театре и сидел на своем обычном месте, рядом с генералом. К общему удивлению, враги беседовали между собой в антрактах самым мирным образом. Крапивин сильно взволновался, почувствовав какую-то беду.

— Берегитесь и будьте осторожны, — предупредил он Антониду Васильевну, — от этого сумасброда нужно всего ожидать...

На всякий случай Крапивин осмотрел все входы и выходы в театре и не спускал Антониду Васильевну с глаз. Спектаклю, казалось, не было конца, а тут еще генерал заставлял Якова Ивановича повторять свои любимые номера. Крапивин то и дело вынимал часы, считая каждую минуту. Досталось режиссеру Гаврюше, который едва ворочался, потом суф-

леру и по порядку всем другим театральным маленьким людям. В пылу усердия поскорее смотать ненавистный вечер Крапивин делался несправедливым и не замечал сам, что никто не виноват и дело идет своим обычным ходом. Подвернувшаяся под руку Улитушка не избежала общей участи.

— Ты чего тут, старая крыса, мешаешься? — ругался Крапивин. — Ну чего бегаешь, как угорелая?

Улитушка даже оторопела в первую минуту и только потом настолько собралась с силами, чтобы обругать сбесившегося маэстро.

— Погоди, вот укротят тебя... — ворчала она, улепетывая в ближайшую уборную. — Невелик в перьях-то!..

О происках старухи Крапивин кое-что знал, но не хотел с ней связываться, а теперь у него вырвалось резкое слово общим счетом. В сущности старушонка была порядочная дрянь и вечно заводила в труппе какие-нибудь ссоры и перекоры.

Спектакль кончился, и оставался один водевиль. Актрис попросил Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вместе. В антракте

перед водевилем танцевала свою качучу Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда выходила на сцену с голубым шарфом и в голубой газовой юбочке, производила фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей уборной, Крапивин, — он играл все роли «на затычку», — с удовольствием слышал, как благодарно ревела публика, вызывая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со своим оркестром и как стучал костылем в такт «кадансу» сам генерал. Потом все смолкло, потому что для эффекта Фимушка должна была провалиться в люк, как это делалось в то время: фея улетала в небеса или проваливалась, — то и другое придавало определенный конец номеру.

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием заметил, что Додонова больше нет в театре. Оставался один генерал, расслабленно мигавший опухшими красными веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в полчаса, и антрепренер сам удивился, что так скоро все кончилось. Не смывая грима, он бросился в уборную к Антониде Васильевне: она была налицо, — значит, все благополуч-

но.

— Одевайтесь, я сейчас, — весело проговорил Крапивин, убегая к себе.

Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось налицо одной Фимушки. Она провалилась в люк и больше не возвращалась. Рабочие видели, как она под сценой надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извозчики сообщили, что к подъезду, через который входили и выходили артисты, подъезжал додоновский дорожный возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, балерину увез Додонов... Пока шел водевиль, он был уже далеко. Действительно, Додонов устроил это похищение и был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ивановича, Улитушки и Пелагеи Силантьевны, а Фимушка по своей глупости была рада романическому приключению. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в трико, так и отправилась в неизвестный путь, отдавшись Додонову. Они вдвоем катили по московскому тракту, сломя голову, и

это приводило Фимушку в восторг. Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как ребенка.

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьевой, не оставшейся в накладе. Додонов послал гонца воротить Ивана Гордеевича с дороги.

XI

Роман Антониды Васильевны закончился бегством Фимушки. Через два года она вышла замуж за Крапивина, который двадцать пять лет оставался антрепренером и справедливо гордился тем, что создал первую в Сибири труппу. На его руках выросло целое поколение артистов; все это были прямые потомки бывших крепостных актрис. Конечно, недостатка в трудных и тяжелых днях не было, труппа не раз распадалась и снова складывалась, но Крапивин держался прочно, как человек вполне порядочный. Одно его огорчало, именно, что Антонида Васильевна оказалась бездетной, но и эта беда поправилась, когда эта чета приютила круглую сиротку, оставшуюся после Фимушки. Бедная танцовщица пропадала с Додоновым года два и опять верну-

лась к Крапивину в самом несчастном виде — постаревшая и беременная. Крапивин не помнил зла и пригрел ее. Выкупая своих артистов, он выкупил и Фимушку, которая еще раз обманула его надежды: балерина простудилась и скоро умерла.

Додонов плохо кончил: его погубило освобождение крестьян, а потом целый ряд процессов. Капельмейстер, заведовавший додоновским оркестром, отморозил пальцы, играя зимой на открытом воздухе; один из медведей оборвал цепь и загрыз двух баб, и т. д. Беда не приходит одна. Но скандальнее всего разыгралось дело с девичьей. Был поднят громкий процесс, тянувшийся годами. Оказался целый ряд страшных преступлений: ни одна хорошенькая девушка в девичьей не выживала больше года. Одна загадочная смерть следовала за другой, и умирали именно те девушки, которые нравились Додонову больше других. Молва обвиняла во всем Пелагею Силантьевну, отравлявшую своих крепостных соперниц. Насчитывали больше десяти таких жертв. Потом выплыло наружу, что в девичьей за вое время ее существования не было

ни одного ребенка. Являлось подозрение в том, что и это находилось в связи с загадочною смертью безвестных красавиц. К следствию была притянута и старая Галактионовна и сам премудрый Соломон. Вообще дело разыгралось настолько широко, что нужны были сотни тысяч рублей, чтобы замазать все и предать воле божьей, как и вышло в конце концов, когда с Додонова нечего было взять. Он разорился окончательно, и Краснослободские заводы пошли с молотка.

Оставшись нищим, Додонов женился на Пелагее Силантьевне и конец своих дней провел у ней нахлебником. Старая метресса приберегла какие-то крохи от додоновского роскошества и на эти средства содержала мужа.

Крапивинская труппа распалась окончательно со смертью своего основателя. Было время, когда в Загорье широко развернулись-первые золотопромышленники, и у Крапивина дело шло блестящим образом. Он даже приобрел в собственность дом, где помешалась театральная квартира. Были свои лошади и вообще вся обстановка на широкую ногу. Деньги как наживались, так и прожива-

лись. По своей артистической натуре Крапивин был неспособен к благоразумному откладыванию средств про черный день. Когда закончилось крепостное горное дело и задававшие всему тон горные инженеры потеряли насиженные места, дела у труппы сразу упали. Крапивин все-таки кончил свое дело с честью, потому что смерть предупредила грозивший труппе крах. Антонида Васильевна осталась ни с чем и перебивалась кое-как, поступив на вторые роли.

Случившаяся размолвка после сорокалетней дружбы повлияла на обоих стариков. Они сидели по своим углам и горько жаловались на свою судьбу. Конечно, Яков Иванович в качестве кавалера старой школы должен был первым извиниться перед дамой, но, с другой стороны, как же он будет извиняться, когда она первая оскорбила его, указав на дверь? Каждый вечер Яков Иванович проходил мимо дома, Где жила Антонида Васильевна, и все не мог решиться пойти первый на примирение. Он даже поднимался на крыльцо и брался за ручку двери, но его точно отталкивала чья-то сильная рука.

Осень сменилась зимой. Грязь покрылась белым пушистым снегом. Старые люди чувствуют себя в это время Особенно нехорошо, — ведь зима напоминает смерть. Яков Иванович сильно прихворнул. Отозвались кое-какие грехи юности, застарелые ревматизмы, катары, простуды. Он даже лежал в постели недели две. Зато как хорошо выздоравливать, точно родишься во второй раз! Первою мыслью, когда Яков Иванович получил возможность выходить на свежий воздух, — первая мысль, конечно, была о том, чтобы сейчас же сходить к Антониде Васильевне и примириться.

— О женщины, женщины!.. Разве можно на вас сердиться серьезному человеку? — рассуждал старик, пробираясь по знакомой дороге с большими остановками. — Все женщины немножко легкомысленны... Хе-хе!..

Ему представлялось вперед, как ей будет неловко и совестно перед ним, а он сделает такой вид, что не понимает, — не правда ли, ведь будет очень смешно? О женщины, женщины!.. Но вот и знакомый дом, и проклятая лестница, по которой так трудно подниматься-

ся, и дверь... да, та самая дверь, в которую... Якова Ивановича по шеям... Хе-хе!..

— Вам кого угодно? — окликнул старика незнакомый женский голос.

— Как кого? Антониду Васильевну...

— Их нет.

— Как нет, милая? Разве она переехала на другую квартиру?

— Да, переехала... на кладбище. Вот уже девятый день завтра...

— Девятый день?.. Странно... — бормотал Яков Иванович.

Он вышел опять на крыльцо и долго стоял, не надевая шапки. Девятый день... переехала на квартиру... Вдруг жгучая боль схватила его сердце, и Яков Иванович громко зарыдал, как ребенок. Боже мой, он остался теперь совершенно один, один из всей крапивинской труппы.

Верный раб

I

— Михайло Потапыч... а?..

— Ну, чего ты пристал-то, как банный лист?.. Отвяжись...

— Эх, Михайло Потапыч... Родной ты мой, выслушай...

— Какой я тебе Михайло Потапыч дался в сам-то деле! Вот выдешь за ворота и меня же острамишь: взвеличал, мол, Мишку Михайлом Потапычем, а он, дурак, и поверил. Верно я говорю?.. Ведь ты чиновник, Сосунов, а я нихто... Все вы меня ненавидите, знаю, и все ко мне же, чуть что приключится: «Выручи, Михайло Потапыч». И выручал... А кого генерал по скулам лущит да киргизской нагайкой дует? Вот то-то и оно-то... Наскрозь я вас всех вижу, потому как моя спина за всех в ответе.

Мишка заврался до того, что даже самому сделалось совестно. Он оглядел своими узкими черными глазами Сосунова с ног до головы и удивился, что теряет напрасно слова с таким человеком. Действительно, Сосунов ничего завидного своей особой не представ-

лял: испитой, худой, сгорбленный, в засаленном длиннополом сюртучишке — одним словом, канцелярская крыса, и больше ничего. Узкая, сдавленная в висках голова Сосунова походила на щучью (в горном правлении его так и называли «щучья голова»), да и сам он смахивал на какую-то очень подозрительную рыбу. Рядом с этим канцелярским убожеством Мишка выглядел богатырем — коренастый, плотный, точно весь выкроен из сыромятной кожи. Мишкина рожа соответствовала как нельзя больше общей архитектуре — скуластая, с широким носом, с узким лбом и какими-то тараканьими усами; благодарные клиенты называли Мишку татарской образиной.

— Да я с тобой и разговаривать-то не стану, слова даром терять, — равнодушно заметил Мишка, отвертываясь от Сосунова. — Тоже, повадился человек, незнамо зачем... Вот выдет генерал, так он те пропишет два неполных. Ничего, што чиновник...

— Михайло Потапыч, яви божескую милость: выслушай... В третий раз к тебе прихожу, и все без толку.

— Вот привязался человек... Ну, ин, говори, да только поскорее. Того гляди, генеральша поедет...

— Все скажу, Михайло Потапыч, единым духом скажу... Дельце-то совсем особенное.

— Омманываешь што-нибудь?

— Вот сейчас провалиться. Ты только послушай, что я тебе скажу.

Сосунов осторожно огляделся и подошел к Мишке на цыпочках, точно подкрадывался к нему. Мишка еще раз смерил его с ног до головы и вытянул шею, чтобы слушать. Вся эта сцена происходила в большой передней «генеральского дома», как в Загорье называли казенную квартиру главного горного начальника, генерала Голубко. Передняя рядом окон выходила на широкий двор, чистый и утоптанный, как гуменный ток; в открытое окно, в которое врывался свежий утренний воздух, видно было, как в глубине двора, между двух столбов, стояла заложенная в линейку генеральская пара наотлет и тут же две заседланных казачьих лошади. Кучер Архип и два казака оренбургской казачьей сотни сидели под навесом и покуривали коротенькие трубоч-

ки. У ворот генеральского дома устроена была гауптвахта с пестрой будкой и такой же пестрой загородкой; на пестром столбике висел медный колокол, которым «делали тревогу», когда генерал выезжал из дому или приезжал домой. Между колоколом и будкой день и ночь шагал часовой с ружьем. В гауптвахте, низеньком каменном здании с толстыми белыми колоннами, дежурил офицер и солдаты специальной горной команды. Вся эта команда находилась в большой зависимости от Мишки: он подавал знак в окно, когда генерал выходил на верхнюю площадку парадной лестницы с мраморными ступенями. Часовой делал условный знак прикладом ружья, и команда готовилась выскочить с ружьями, чтобы отдать на караул по первому удару колокола. Часовые не спускали обыкновенно глаз с рокового окна.

— Знаешь гадалку Секлетинью? — шепотом спрашивал Сосунов.

— Ну?..

— Так вот я, значит, и толкнулся к ней както после пасхи... У меня причина с столоначальникам из золотого стола вышла.

— С Угрюмовым?

— С ним с самым... Поедом он меня ест и со свету сживает. Того гляди, подведет, а генерал в рудники законопатит да еще на гауптвахте измором сморит.

— Самый зловредный человек этот ваш Угрюмов, а относительно генерала ты правильно...

— Ну, взяло меня горе, такое горе, что и сна и пищи решился... Вот я и пошел к Секлетинье. Она в Теребиловке живет... Подхожу я это к ее избенке, гляжу, извозчик стоит. Что же, не ворочаться назад... Я в избу, а там... Может, я ошибся, а только сидит барыня, платочком голову накрыла, чтобы лицо нельзя было разглядеть, а я ее все-таки узнал. Барыня-то ваша генеральша...

— Н-но-о? — изумился Мишка и сейчас же ладонью закрыл Сосунову рот. — Тише ты, аспид...

Дело в том, что в этот момент на верхней площадке лестницы мелькнуло ситцевое платье горничной Мотьки, смертельного врага Мишки. Вот тоже подвернулась когда, проклятая...

— Да ты не огляделся ли? — шепотом допрашивал Мишка.

— Верно тебе говорю: вот сейчас провалиться... И Мотька с ней была, только дожидалась генеральши за углом. Я это потом досмотрел, когда генеральша поехала от Секлетиньи.

— Гм... да... — мычал Мишка, сразу проникаясь доверием к Сосунову и соображая свои мысли. — Ах ты, дошлый!.. Ведь вот, узорил... а?.. Ну, а дальше-то што?

— Ну, как генеральша ушла, я к Секлетинье... По первоначалу она все будто отвертывалась от меня: я к ней, а она спиной. Блаженная она, известно... А у меня уж со страхов коленки подгибаются. Ей-богу... Хуже этого нет, ежели Секлетинья к кому спиной повернется. Ну, у меня припасен был с собой на всякий случай золотой... Еще от баушки-покойницы достался. Вынул я этот золотой и подаю Секлетинье. Она взяла да как засмеется... У меня опять сердце коробом. А она завертелась на одной ноге, машет моим золотым и наговаривает: «Не в золоте твое счастье... Не в золоте! А любишь ты золото, только напрасно лю-

бишь». — «А будет счастье?» — спрашиваю. Она опять отвернулась от меня, добыла из-под лавки корыто, взяла ковш с водой, щепочку и давай в корыто воду лить да щепочку по воде пущать... Больше я от нее ничего и добиться не мог.

— Только-то? Напрасно только свой золотой стравил: отдал бы лучше его мне...

— Ах, какой ты, Михайло Потапыч... Слушай дальше-то. Как я после-то раздумался, так все и понял, вот до ниточки все, точно у меня глаза раскрылись... Ей-богу!.. Вот я теперь пятнадцать лет все добиваюсь в золотой стол попасть и не могу — она это и сказала, что мне не след туда попадать. Ты думаешь, я ей зря золотой-то принес? Ну, а щепочки, которые она по воде спущала, обозначают, что ты меня должон на караван определить...

При последних словах у Мишки даже руки опустились от изумления, — и ему сделалось все ясно. Вот так Секлетинья, да и Сосунов тоже ловок... Как по-писаному, так блаженная и отрезала. От судьбы, видно, не уйдешь. Да и ловок Сосунов, нечего оказать... Тоже словечко завернул: определи на караван. Легкое ме-

сто оказать. Ну, а если Секлетинья сказала, так и на караване будет. Мишка слепо верил в судьбу.

— Ну, чего же ты молчишь? — спрашивал Сосунов. — Я тебе все сказал, как на духу... О благодарности будь без сумленья.

— Ладно, ладно... Все на счастливого.

Мишка только хотел оказать что-то, как под окном мелькнула стриженая раскольничьей скобой голова в синем картузе, и Мишка указал Сосунову на маленькую дверку под лестницей, где жил сам. Сосунов едва успел затвориться, как в переднюю вошел степенный мужик в длиннополом сюртуке и смазных сапогах.

— Михайлу Потапычу... — развязно проговорил он, протягивая руку. — Весело ли попрыгиваешь?

— Не очень-то у нас напрыгаешься, Савелий, — уклончиво отвечал Мишка. — За вами где же угнаться...

Савелий красивыми темными глазами оглядел переднюю, мельком вскинул наверх и, разгладив окладистую русую бородку, проговорил:

— Тарас Ермилыч прислал узнать, как здоровье его превосходительства, и приказал кланяться...

— Обнакновенно, как завсегда. Сейчас генерал занят, и пустяками нельзя тревожить... Ужо скажу, когда можно будет... Ну, а как у вас: все дым коромыслом?

— Ох, и не спрашивай, Михайло Потапыч... Совсем даже ума решились: сильно закурил Тарас-то Ермилыч, а тут еще Ардальон Павлыч навязался...

— Это тот, што в карты играет? Откуда он у вас взялся?

— А неизвестно... На свадьбе, как Поликарп Тарасыч женились, он и объявил себя. Точно из-под земли вынырнул... А теперь обошел всех, точно клад какой. Тарас Ермилыч просто жить без него не может. И ловок только Ардальон Павлыч: медведь у нас в саду в яме сидит, так он к нему за бутылку шампанского прямо в яму спустился. Удалый мужик, нечего сказать: все на отличку сделает. А пить так впереди всех... Все лоском лежат, а он и не пошатнется. У нас его все даже весьма уважают...

— Который месяц теперь пошел, как свадьба-то ваша продолжается?

— Да уж близко полгода, Михайло Потапыч... Ох, горе душам нашим! Што только и будет: ума не приложить... Уж которые есть опасливые, так подобру-поздорову из города уезжают, потому как прямой зарез от нашей свадьбы.

Оглянувшись, Савелий на ухо шепнул Мишке:

— Ночесь[285] один енисейский купец, Тураханов по фамилии, с вина сгорел...

— Н-но-о?

— Верное слово... Он и на свадьбу-то попал зря, проездом завернул, — дела у него по промыслам с Тарасом Ермилычем были. Ну, и попал в самый развал, да месяца два без ума и чертил... Што уж теперь будет — и ума не приложим. Тарас-то Ермилыч в моленной заперся, а меня подослал сюда... Уж какая резолюция выдет нам от генерала — один бог весть.

Савелий с изысканной ловкостью, прикрыв руку картузом, сунул Мишке скомканную ассигнацию, — нужный человек Мишка,

чтобы генерала подготовить к известию о случившемся казусе. Мишка с неменьшей ловкостью спрятал посул куда-то в рукав.

— Уж ты, тово, Михайло Потапыч... Сослужи службу, а Тарас Ермилыч не забудет — так и наказывал сказать тебе.

— Да уж я для Тараса Ермилыча в ниточку вытянусь...

Конца фразы Мишка не успел договорить, потому что по лестнице сверху летела горничная Мотька с такой быстротой, точно ее оттуда сбросили, — она бежала на подъезд крикнуть кучеру, чтобы подавал лошадей генеральше. Мишка моментально вытянулся в струнку и окосил глаза на лестницу, по которой уж спускалась генеральша, молодая, пухлая дама, в сиреневом шелковом платье. Савелий почтительно отошел в сторонку и наклонил голову, как делают благочестивые люди в церкви. Мотька успела вернуться и помогала генеральше спускаться по лестнице, поддерживая ее за руку. «Стрела, а не девка», — подумал Савелий, большой охотник до проворных и ловких девок. Генеральша спускалась с недовольным лицом, застегивая мод-

ную лайковую перчатку цвета свежего масла. Поровнявшись с Мишкой, она подняла на него свои темные блестящие глазки и певуче проговорила:

— А ты не слыхал, как я звонила?

— Никак нет-с, ваше превосходительство...

— Нет?..

В передней звонко раздались две ловких пощечины. Мишка не шевельнулся, а только замигал усиленно левым глазом. Это еще больше разозлило генеральшу, и она ударила кулаком Мишку прямо в зубы, так что у того «счакали» челюсти. Мотька искоса глядела на Савелия, улыбаясь одними глазами.

— Только перчатки из-за тебя, подлеца, испортила!.. — кричала генеральша, входя в азарт. — Мотька, новые перчатки...

Пока Мотька летала наверх за перчатками, взволнованная генеральша ходила по передней мимо стоявшего неподвижно Мишки и каждый раз давала ему по пощечине. Савелия она не хотела замечать. Наконец, она устала, села на стул к окну и закрыла глаза, чтобы не видеть ненавистного человека. Ей было лет двадцать пять, но благодаря полноте она ка-

залась старше. Круглое, белое, бескровное лицо не отличалось красотой, но, когда генеральша улыбалась, оно точно светлело и делалось очень симпатичным. Пока Мотька натягивала новые перчатки, генеральша не открывала глаз и даже склонила голову на один бок, как женщина, огорченная до глубины души. Мишка стоял все время не шевельнувшись и свободно вздохнул только тогда, когда генеральша вышла на крыльцо.

— Ну, и язва сибирская твоя генеральша, — с участливым вздохом проговорил Савелий.

— Ох, и не говори! — ответил Мишка, кулаком вытирая окровавленные губы. — Изводит она меня насмерть... Поедом съела. Тссс...

Мишка забыл, что Мотька осталась на крыльце и подслушивала их разговор. Но теперь было уже поздно... Мотька прошла по передней с таким видом, что у Мишки сердце повело коробом.

— Удалая девка, — проговорил Савелий, когда Мотька начала подниматься вверх по лестнице. — Вот бы мне такую: в самый раз...

Мотька остановилась, свесилась через пе-

рила и с особенным задором проговорила:

— Ступай к своим кержанкам, да и заигрывай... Кержак немаканый!..

— Да ведь ваша-то девичья вера везде одинакова, Мотя, — ласково ответил Савелий, блестя красивыми глазами. — Што кержанка, што православная...

— Ах, бесстыжие твои глаза!.. — вскрикнула Мотька, покраснела и, плюнув, вихрем унеслась вверх.

— Бес, а не девка... — как-то промурлыкал Савелий, сладко закрывая глаза. — Ох, грех с ними один! Прощенья просим, Михайло Потапыч...

Мишка простился с ласковым кержаком молча, — очень уж разогорчила его генеральша. Зачем при людях-то при посторонних срамить? Ежели нравится, — ну, бей с глазу на глаз, а тут чужой человек стоит и смотрит, как генеральша полирует Мишку со щеки на щеку. Чужой человек в дому, как колокол...

Сосунов оставался в засаде и не смел дохнуть. Ведь нанесла же нелегкая эту генеральшу, точно на грех, а теперь Михайло Потапыч рвет и мечет. Подойди-ка к нему... Ах, что на-

делала генеральша! Огорченный раб Мишка забыл о спрятанном Сосунове и, когда тот решился легонько кашлянуть, обругался по-мужицки.

— Ах ты, крапивное семя!.. Убирайся вон... ко всем чертям.

— Михайло Потапыч...

В пылу гнева Мишка даже замахнулся на Сосунова, но потом вдруг припомнил что-то и спросил:

— Так генеральша была у Секлетиньи?

— Своими глазами видел, Михайло Потапыч...

— Можешь при случае утвердить вполне?

— Могу.

— Ну, так попомни это, да пока, до поры до время, никому об этом не говори. Понял теперь?

II

Верный раб Мишка в Загорье являлся страшной силой, потому что старый генерал Голубко имел к нему какое-то болезненное пристрастие. Под сердитую руку генерал лупил Мишку нагайкой из собственных рук, но это не мешало Мишке управлять генералом

до некоторой степени. Все это знали, все этим пользовались, и всем это обходилось не дешево: Мишка даром ничего не любил делать, потому что «и чирей даром не вскочит», а «без снасти и клопа не убьешь». Главное, Мишка изучил своего генерала в тонкости и знал, когда к генералу можно идти и с чем — старик был ндравный и шутить не любил. Бывали случаи, когда неблагодарные люди хотели обойтись без Мишки и дорого платились за это.

Самое появление Мишки в передней генеральского дома было обставлено легендарными подробностями. Грозный генерал Голубко был послан на Урал с чрезвычайными полномочиями, далеко превышавшими губернаторскую власть. Нужно было подтянуть казенные горные заводы, золотые промыслы, частных заводчиков и вообще все крайне сложное горное дело. Старый николаевский генерал сразу поставил себя на настоящую точку, и одно его имя производило панику. В его руках сосредоточивалась не только гражданская, но и военная власть, а также судебная, по преступлениям горнозаводского на-

селения. Самый город сразу изменил свой внешний вид, хотя главным двигателем здесь и являлась казацкая нагайка, уничтожавшая в корне обывательскую лень. В Загорье были устроены обширные казенные фабрики для выделки оружия и разной заводской снасти. Здесь все было поставлено на солдатскую ногу, и когда генерал Голубко еще только подходил к фабрикам, там уже было слышно, как муха пролетит. Порядок во всем был слабостью грозного генерала, а до остального он мало касался, предоставляя все горным инженерам, состоявшим тогда на военном положении. Когда генерал проходил по фабрикам, все рабочие выстраивались во фронт и отдавали начальству честь по-солдатски. Горе тому, у кого недоставало пуговицы или носки врозь, — сейчас же следовало и возмездие. Чтобы не было попущений и послаблений, генерал сам наблюдал о точности исполнения предписанных наказаний. Наказывали тут же, на фабричном дворе, а розги заготовлялись возами. Вот именно здесь и проявился знаменитый Мишка, вынырнувший из безличной рабочей массы благодаря счастливой

случайности. Он работал на казенной фабрике, как все другие, и за какую-то провинность должен был получить пятьдесят розог. После экзекуции, производившейся под личным наблюдением генерала, Мишка выкинул невиданную штуку. Он смело подошел к генералу и заявил:

— Ваше превосходительство, не велите казнить, велите выслушать...

— Ну, что тебе?

— Закон требует порядка, ваше превосходительство... Обозначено было мне пятьдесят лозанов, а дадено всего сорок семь. Сам считал. Прикажите доложить...

В первую минуту генерал даже не нашелся, что отвечать, а его свита только переглядывалась — выискался невиданный зверь. Все были озадачены. Мишка воспользовался общим замешательством и занял место на деревянной кобыле, на которой производилось наказание. Получив три недостававшие розги, он поблагодарил генерала и как ни в чем не бывало отправился на работу в свой корпус. Этот случай поразил строгого генерала. Возвратившись домой, старик долго хохотал

и все повторял фразу Мишки: «Закон требует порядка». И утром на другой день генерал проснулся с этой же фразой и не мог успокоиться до тех пор, пока Мишка не был приведен в генеральский дом.

— Закон требует порядка? — спрашивал генерал.

— Точно так-с, ваше превосходительство! — по-солдатски отвечал Мишка, не сморгнув глазом.

— Дополучал три лозана? Ха-ха-ха...

Генерал Голубко был настоящий генерал, какие были только при императоре Николае, — высокий, плечистый, представительный, грозный, справедливый, вспыльчивый, по-солдатски грубый и по-солдатски простой. По наружности генерал мог считаться молодцом, несмотря на свои шестьдесят лет и совершенно седые волосы. Лицо было свежее и румяное, а грозные серые глаза глядели еще совсем по-молодому. И веселился грозный генерал всегда так искренне и радостно, что вместе с ним не смеялись только стены. Так раб Мишка и остался в генеральском доме, потому что генерал почувствовал к нему ка-

кое-то болезненное пристрастие. Определенной должности у него не было, а смотря по надобности Мишка исполнял все, что можно было требовать от верного раба. Генерал не мог жить без него и возил его с собой по всему Уралу, когда объезжал горные заводы. Недавний мастеровой преобразился в казака, — при генерале все было форменно, подтянуто в струнку и ходило козырем. Мишка быстро выучился казачьей муштре и вместе с ней усвоил казачью вороватость.

Пять лет верный раб Мишка благоденствовал вполне, как никто другой. Загорье в эти именно года прогремело открытым в Сибири золотом, и деньги лились рекой. Во главе золотопромышленников стояли Тарас Ермилыч Злобин, а потом старик Мирон Никитич Ожигов. Открытое ими в Сибири золото дало миллионы. За первыми предпринимателями потянулись другие и тоже получили свою долю, как Тихоновы, Сердюковы и Щеголевы. Около этик счастливцев толклись бедные родственники, разные предприниматели и просто прихлебатели и прохвосты. Золото — всемогущая сила, притягивающая к себе неудержи-

мо все — и добро и зло, больше всего последнее. Вот в это горячее время, когда всех охватила золотая лихорадка, верный раб Мишка и благоденствовал, потому что от него зависело, примет генерал или не примет такого-то, а затем — осчастливит он своим посещением или пренебрежет. Генерал был страшной силой, и Мишка эксплуатировал ее в свою пользу. Как это случается, сам генерал был искренне-честный человек и никаких взяток не брал, но зато брали около него все остальные, как не могли бы брать при начальнике-взяточнике. Грозный генерал не мог допустить даже мысли, что его подчиненные смели воровать у него под носом и обирать других. Помилуйте, он ли не грозен, — все трепетало от одного его взгляда. Верный раб Мишка брал больше всех, брал решительно все, что ему давали, что он мог взять и что вымогал разными неправдами. В нем развился какой-то пьяный азарт к взяточничеству: недавний бедняк, существовавший казенным пайком, теперь превратился в ненасытного волка. С своим новым положением Мишка освоился с необыкновенной быстротой и сейчас же пу-

стил в оборот все приемы, ходы и выходы закоренелого взяточника, хотя и не мог достичь изумительной ловкости таких артистов, как столоначальник «золотого стола» в горном правлении Угрюмов и консисторский протопоп Мелетий. Мишка мог только завидовать им, как чему-то недосягаемому, и его грызло сознание собственного несовершенства, особенно когда являлась предательская мысль, что он мог взять там-то и там-то или пропустил такой-то случай. Эти черные мысли заставляли Мишку просыпаться даже по ночам, и он вслух говорил себе:

— Эх, и дурак же ты, Мишка! Прямо сказать: балда деревянная... Разве протопоп Мелетий али Угрюмов сделали бы так? Да они бы кожу с самого генерала сняли... А теперь те над тобой же, дураком, смеются: «Эх, дурак Мишка, не умел взять!»

У Мишки развивалась мания взяточничества, и он по ночам, во время охватывавшей его бессонницы, по пальцам высчитывал все случаи, когда он мог взять и не взял, а также соображал те суммы, какие у него теперь лежали бы голенькими денежками в кармане.

Им овладевало настоящее бешенство, и Мишка готов был плакать, потому что у него перед глазами стояли такие непогрешимые и недосягаемые идеалы, как протопоп Мелетий и столоначальник Угрюмов.

Несмотря на эти муки неудовлетворенного и ненасытного взяточничества, верный раб Мишка благоденствовал и процветал до тех пор, пока его генерал не женился. Случилось это как-то вдруг, и Мишка считал себя прямым виновником быстрой генеральской женитьбы. Дело было зимой, на святках. Генерал после обеда отправился кататься. Сопровождавший его Мишка стоял по обыкновению на запятках саней. Когда они ехали по набережной пруда, Мишка, потрафляя хорошему послеобеденному настроению владыки, сказал:

— Вон катушки налажены, ваше превосходительство.

— Ну, что же из этого?

— А любопытно поглядеть, ваше превосходительство, как публика катается с гор. Попадаются такие девицы мещанского звания, што глаза оставить можно...

— Не пугай, дурак!

Генерал приказал кучеру повернуть на пруд, и генеральские сани через пять минут остановились у ближайшей горы. День был праздничный, и народ толпился кучей. Появление генерала сначала заставило толпу притихнуть, но он через казака отдал приказ веселиться. С горы полетели одни сани за другими, а генерал смотрел снизу и улыбался, как веселится молодежь. Катались не одни девицы мещанского звания, а и настоящая публика, — других общественных развлечений в Загорье тогда не полагалось. Один эпизод рассмешил генерала до слез. На одних санях впереди сидела молоденькая краснощекая девушка. Когда сани полетели с горы, у нее вырвался из рук подол платья, а ветром его подняло ей на голову. Мимо генерала вихрем пронеслось сконфуженное девичье лицо и соблазнительно открытые девичьи ноги.

— Чья эта... ну, полненькая? — задумчиво спрашивал генерал у Мишки, когда они вернулись с прогулки домой. — Из мещанского звания?

— Никак нет-с, ваше превосходительство:

дочь гиттенфервальтера[286] Тиунова, Енафа Аркадьевна. Девица, можно сказать, вполне-с...

— Дурак, разве ты можешь что-нибудь понимать в таком деле?..

Сконфуженное девичье лицо снилось генералу целую ночь, и он, проснувшись утром на другой день, сказал опять: «У, какая полненькая!»

Через две недели была свадьба, и дочь гиттенфервальтера Тиунова сделалась генеральшей Голубко. В приданое с собой она вывезла только одну крепостную девку Мотьку. Эта перемена в домашней обстановке генерала озадачила верного раба Мишку с первого раза, и он решительно не знал, как ему теперь быть. Молодая генеральша оказалась с ноготком и быстро забрала грозного генерала в свои пухлые белые ручки и почему-то с первого же взгляда кровно возненавидела верного раба Мишку, старавшегося выслужиться перед ней. Где крылись истинные причины этой ненависти, едва ли объяснила бы и сама генеральша, но верно было то, что она не могла выносить присутствия Мишки.

— Куда хочешь, папочка, а только убери этого дурака, — просила полненькая генеральша улыбавшегося счастьем грозного генерала. — Как увижу его, так целый день у меня испорчен...

— Зачем же обижать человека, который не сделал ничего дурного? — пробовал генерал защищать своего верного раба. — Я так привык к нему... Он знает все, все мои привычки, и никто так не умеет угодить мне.

— Даже я?

— Гм... да... то есть я хотел сказать...

— Не нужно! Ничего не нужно... Я думала, что ты меня любишь... я никогда еще ни о чем не просила тебя, папочка...

Дальше следовали первые слезы и необходимые утешения, а потом вышел генеральский приказ: Мишка низвергался в переднюю, и доступ наверх ему закрылся навсегда. Это было нечто ошеломляющее, и верный раб Мишка почувствовал себя в положении падшего ангела. Когда генерал проходил через переднюю, то старался не смотреть на Мишку, потому что чувствовал себя виноватым. Репутация верного раба Мишки сразу пошат-

нулась, и он имел тысячу случаев, убеждавших его в черной неблагодарности недавних доброхотов и вообще клиентов. К Мишке теперь обращались только по старой памяти или по ошибке. Все это сосало и грызло рабье сердце без конца, и Мишка страдал день и ночь. Но этим дело не кончилось. Генеральша не забывала низверженного в прах верного раба и с женской последовательностью донимала его всевозможными каверзами. Не раз генерал призывал верного раба к себе в кабинет, затворял дверь и грозно кричал:

— Да как ты смеешь, подлец, грубить генеральше? Да я тебя в порошок изотру... я... я...

Дальше следовала молчаливая лупцовка, причем Мишка не издавал ни одного звука, точно генерал колотил нагайкой деревянного чурбана. Верный раб даже не оправдывался, а принимал все эти истязания молча, как заслуженную кару за неизвестные преступления.

Но и этого мало. Вместе с влиянием на генерала полненькая генеральша постаралась заполучить и все доходные статьи, из сего законным образом проистекавшие, именно то,

чем безраздельно пользовался раньше один Мишка. Эти дела генеральша устроила с замечательной ловкостью, и «благодарность» разных добрых людей лилась на нее или через посредство горничной Мотьки, или через папашу гиттенфервальтера. Конечно, генеральша знала отлично все «тайности» Мишкиного взяточничества, но не выдала его генералу даже намеком, — в нем она щадила не только самое себя, но все горное ведомство, жившее такими посулами и благодарностью.

Верный раб Мишка стоял в своей передней и терпел все, что ни делала над ним генеральша, а это еще сильнее бесило расходившиеся генеральские ручки. Но, несмотря на все эти злоключения, верный раб смутно верил в свою счастливую звезду и все думал, как бы ему извести выматывавшую из него душу генеральшу. И день думает Мишка и ночь думает все об одном и том же, и ничего придумать не может, точно на пень наехал. Изморит его генеральша вконец. Раз, в минуту отчаяния, у Мишки явилась роковая мысль: взять веревку да и повеситься у генеральши в спальне, где люстра висит. Пусть ее казнится...

Последняя неприятность от генеральши, невольными свидетелями которой были Савелий и Сосунов, произвела на Мишку удручающее впечатление настолько, что о сообщении Сосунова, как генеральша с Мотькой ездили к гадалке Секлетинье, он вспомнил только через день. Зачем было ей шляться к ворожее? Генерал в ней души не чает, дом — полная чаша, сама толстеет по часам. Что-нибудь да дело неспроста.

— Эх, достигнуть бы генеральшу, кажется, такую бы свечу преподобному Трифону закатил! — мечтал Мишка, раздумывая свое горе. — Утесненным от начальства преподобный Трифон весьма способствует... А то не толкнуться ли к Секлетинье? Может, она и научит... От этих баб добра и зла не оберешься.

Пока Мишка размышлял, Сосунов опять завернул наведаться, как и что.

— Да ты с ума спятил? — накинулся на него обозленный Мишка. — Разве такие дела зря делаются: надо выждать. Не прежняя пора, когда я состоял при генерале ежечасно...

— Дело-то верное, Михайло Потапыч, —

настаивал Сосунов. — Уж ежели кому Секлетинья скажет что, так тому и быть. Щепочки-то она пущала по воде неспроста... А уж я тебя не забуду, Михайло Потапыч, только бы мне от Угрюмова избавиться. Уж подумывал в консисторию секретарем поступить к протопопу Мелетию, да жалованья у них двадцать семь рублей на ассигнации в год...

Уходя, Сосунов сообщил очень важное известие, именно, что генерал, по всей видимости, собирается в объезд по заводам и, по всей вероятности, его с собой возьмет. В горном правлении уж пронюхали об этом, да и Злобин подсылал тогда Савелия неспроста: эти кержаки знают все и раньше всех. Еще генерал и не подумал, а они уж знают, когда он поедет.

— А што бы ты думал: ведь правильно, — удивлялся Мишка, — вышибла меня генеральша из ума, а то и сам бы догадался.

— Может, и на караван посмотреть поедет, ну, так ты не зевай.

— Ладно, ладно... Ускорился тоже. К часу надо слово молвить...

— Да уж тебя не учить. А кержаки наперед

нас все учуяли...

III

Небольшой горный городок Загорье в сороковых годах испытывал лихорадочное оживление благодаря приливу бешеных денег. Составляя горнозаводский центр, Загорье был поставлен на военную ногу, потому что тогда все казенное горное дело велось военной рукой. Военная закваска чувствовалась в распланировке самых улиц, правильных и широких, в типе построек и больше всего, конечно, в характере самого населения. Заводский мастеровой и промысловый рабочий являлись разновидностью николаевского солдата — та же выслуга в тридцать пять лет, та же муштра, те же розги и шпицрутены. Генерал Голубко окончательно подтянул город, и он выглядел чистенькой военной колонией. Центр занимали казенные фабрики. Река Порожняя была поднята высокой плотиной и делила город на две части: правая — низменная, левая — гористая. На правой стороне из других зданий выделялся своей белой каменной массой «генеральский дом», а на левой — вершину холмистого берега заняли только

что отстроенные палаты новых богачей, во главе которых стоял золотопромышленник старик Тарас Ермилыч Злобин. В течение каких-нибудь пяти лет они из тысячных промышленников превратились в миллионеров и развернулись во всю ширь русской натуры. Наш рассказ застает их в самый критический момент, именно, когда эти миллионы породнились: старик Ожигов выдал свою последнюю дочь Авдотью Мироновну за единственного сына Злобина, Поликарпа Тарасыча.

Старик Ожигов, несмотря на свое богатство, жил прижимисто, по-старинному. Но зато в злобинском доме стояло «разливанное море». Самый дом занимал вершину главного холма, и с верхней его террасы открывался великолепный вид на весь город, на сосновый бор, охвативший его живым кольцом, и на прятавшиеся в этом лесу заимки. Злобин не жалел денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и громадный сад, и большая раскольничья моленная, и потаенные каморки с потаенными в них ходами. На улицу дом выходил великолепным фронтоном, с колоннами, балконами

и лепными карнизами; ворота представляли собой настоящую триумфальную арку. На мощеном широком дворе всегда стояло несколько экипажей. Старик Тарас Ермилыч занимал парадный верх, а новожен Поликарп жил в нижнем этаже. Кругом всего двора сплошной стеной шли домашние пристройки — людские, конюшни, флигеля. В общем, злобинский дом представлял собой целый городок, битком набитый всевозможным людом — тут жили и бедные родственники, и служащие, и разные богомольные старушки, и просто гости, как Смагин. В злобинском доме угощались званый и незваный вот уже больше полугода, потому что празднование свадьбы затянулось на неопределенное время.

К обеду в злобинский дом наезжали гости со всех сторон — своя братия купцы, горные чиновники, разные нужные люди и престо гости. Обед был ранний, ровно в час. Длинная столовая помещалась в верхнем этаже и выходила окнами на широкую садовую террасу. Из-за стола гости переходили летом прямо сюда, пили здесь чай, а вечером устраивались внизу, у Поликарпа Тарасыча, где шла горя-

чая картежная игра. Сам старик Злобин не играл, но в Смагине он души не чаял и даже перевел его жить в тот же дом — в антресолях была прелестная комнатка с балконом. Табачник и волтерьянец, как называл Смагина консисторский протопоп Мелетий, поселился в этом раскольничьем гнезде своим человеком.

Подручный Савелий в тот день, когда был у Мишки, так и не мог урвать свободной минуты, чтобы переговорить с самим Тарасом Ермилычем. Помешали гости, да и Тарас Ермилыч немножко лишнее выпил, а тогда к нему приступу нет, хоть камни с неба вались. Неукротимый был человек, когда развеселится. Пришлось выжидать следующего утра, когда Тарас Ермилыч выйдут из моленной. Это было лучшее время для всяких объяснений. Моленных в злобинском доме было несколько: одна большая, в особом корпусе, а затем так называемая «стариковская» и еще несколько маленьких. У Тараса Ермилыча была своя собственная, рядом со спальней. Савелий имел доступ к «самому» во всякое время без доклада, а поэтому и прошел через парадную залу и гостиную прямо в спальню. В при-

отворенную дверь моленной он видел, как старик прилеплял к образу восковую свечу, а потом стал «класть уставной начал» с лестовкой и подручником, как подобает по древлему благочестию. Высокая и плотная фигура «самого» только установилась в молитвенную позу, как прилепленная к образу свеча свалилась. Тарас Ермилыч сделал нетерпеливое движение, но удержался и со смирением прилепил свечу во второй раз. Не успел он сделать уставных трех поклонов, как свеча снова упала. Это рассердило старика, но он еще раз прилепил свечу к образу. Но когда она упала в третий раз, он вскочил на ноги, схватил свечу и бросил ее о пол, а сам выбежал из моленной, весь красный от охватившего его бешенства. Увидев Савелия, Тарас Ермилыч плюнул и обругался по неизвестному адресу.

— Ты тут чего торчишь, оглашенный? — накинулся он на Савелия.

— Я, Тарас Ермилыч...

— Вижу, что ты... ну?

Савелий по привычке опустил глаза и своим ровным тенориком стал, не торопясь, рас-

сказывать о своем вчерашнем переговоре с Мишкой. Тарас Ермилыч сразу успокоился. Это был высокий статный старик с большой красивой головой. Широкое русское лицо глядело большими серыми глазами, сердитыми и ласковыми в одно и то же время; окладистая темная борода, охваченная первым инеем благообразной старости, придавала этому лицу такой патриархальный вид. Волосы на голове совсем поседели, но лежали молодыми кудрями. Простая ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная шелковым пояском, заправленные в сапоги тиковые штаны и длиннополый, раскольничьего покроя кафтан составляли весь домашний костюм миллионера. Прислушиваясь к рассказу Савелия, Тарас Ермилыч несколько раз хмурил брови и покачивал головой, а когда рассказ дошел до рукоприкладства генеральши, он засмеялся.

— Этакая изъедуга-баба, — проговорил старик. — Из щеки в щеку так и нажаривает? Ловко… А он только мигает, Мишка-то?

— Так точно-с, Тарас Ермилыч… Даже вчуже как-то нелепо было смотреть на такой конфуз. Генеральша Енафа Аркадьевна все-та-

ки благородные дамы и вдруг объявили такое полное безобразие... Женскому полу это даже совсем не соответствует.

— А Мишка-то только мигает? Ха-ха... Она его прямо по татарской образине хлясь, а он только мигает?.. Ты вот что, Савелий (Тарас Ермилыч взял подручного за ворот кафтана), как-нибудь при случае, ловконько этак, расскажи при Смагине, как генеральша полировала Мишку... Пусть он послушает.

— Можно-с и так обернуть, Тарас Ермилыч...

— Будто так, дурам сболтнул... понимаешь?.. Да еще вот что: ступай ты сейчас к Мирону Никитичу и объяви про свой разговор с Мишкой: я для него тебя засылал.

Савелий сделал налево кругом, но Тарас Ермилыч вернул его от дверей и задумчиво проговорил:

— Вот мы сейчас посмеялись с тобой над Мишкой, а ведь он недаром мигал... Помяни мое слово: за битого двух небитых дают. Ступай. Кланяйся Мирону-то Никитичу да скажи, что он нас забывает совсем.

Про опившегося енисейского купца старик

не сказал ни одного слова, как будто так и быть должно. Само по себе мертвое тело еще бы ничего — похоронили, и вся недолга. Полиция была в руках у всесильного Тараса Ермилыча. Но страшен был генерал: как он взглянет на такой казус? Положим, он дружил с Злобиным и бывал у него по-домашнему, даже трубку свою привозил, но все-таки страшно — а вдруг наморщится? а вдруг учнет фыркать? а вдруг рявкнет, яко скимен? Генеральская дружба — как вешний лед. Выручил из неловкого положения Смагин. Главное, сам вызвался. Только и удалый человек... В генеральском доме он частенько бывал и, как говорили злые языки, строил куры самой генеральше.

— Я в смешном виде всю историю генералу расскажу, — объяснял накануне Смагин недоумевавшему Тарасу Ермилычу. — Старик посмеется — только и всего.

— Ох, в добрый бы час только попасть, Ардальон Павлыч, — угнетенно вздыхал старик. — Огонь, а не человек, ежели не в час...

— Уж будьте покойны, все в лучшем виде. Много будет смеяться Андрей Ильич.

— Дивлюсь я на твою смелость, Ардальон Павлыч, — наивно признавался Тарас Ермилыч, — как это ты легко о генерале разговариваешь и даже в глаза Андреем Ильичом называешь.

— Чего же бояться его: такой же человек, как и мы с вами.

— Такой, да не совсем...

Смагин задумчиво улыбнулся и покрутил свой черный ус. Это был красивый и видный мужчина, один из тех счастливцев, для которых женщины идут на все. На вид ему можно было дать лет тридцать с большим хвостиком, но его молодила военная выправка и уверенность в себе. Бороду он брил и носил по-военному одни усы, одевался франтом и вообще держал себя львом. Загадочные темные глаза глядели устало и светлели только в присутствии хорошеньких женщин. Тарасу Ермилычу нравилась в Смагине вся его барская повадка — он и не унижался, как другие, и головы не задирал выше носу, а тронуть его пальцем никто бы не посмел. Так взглянет, что не поздоровится. Устраивая дело с генералом, он и виду не подал, что делает какое-ни-

будь одолжение Злобину, а так просто взял да и уважил хорошего человека, точно стакан воды выпил. «Сокол ясный», — думал Тарас Ермилыч, тронутый очестливостью мудреного гостя.

— Так ты когда к генералу-то, Ардальон Павлыч? — спрашивал Злобин, не умея скрыть своего нетерпения.

— А завтра...

— Нельзя ли поскорее? Как узнает генерал стороной про мертвое-то тело, хуже будет. Тогда уж к нему не подступишься...

— Вздор!.. Не беспокойтесь: сказал, что устрою, значит, и будет так.

Самоуверенность Смагина подействовала на Злобина успокаивающим образом, хотя он и заключил свою беседу с ним широким вздохом.

Мертвое тело опившегося купца было стащено в самый задний флигель, где помещалась своя злобинская богадельня. Это обстоятельство смущало весь дом, начиная с самого хозяина и кончая последним конюхом. Главное то, что нехороший знак... А тут еще следствие, доктора будут потрошить — греха не

оберешься. Положим, что везде было дано больше, чем следует, а все-таки слух пойдет по всему городу. Может еще и родня привязаться... Одним словом, неприятность вполне. Полицеймейстер уже приезжал два раза, смотрел покойника и только плечами пожал.

— Убрать бы его, Иван Тимофеич? — взмолился Злобин.

— Не могу, Тарас Ермилыч: уголовное дело... Надо следствие произвести и допросить свидетелей.

— Да чего спрашивать, когда человек с вина сгорел? Ежели бы знатье, так я бы его близко к дому не пустил, не то что угощать...

Потом приехал доктор и тоже пожал плечами. Тоже свой человек был, а тут оказал себя хуже чужого. О том, где будут потрошить «мертвяка», Тарас Ермилыч не смел и спросить: и дом новый, и свадьба еще не кончилась, а тут этакая мерзость. Хоть бежать из дому, так в ту же пору... Да и гости теперь будут сомневаться: не ладно, дескать, в злобинском доме. Вообще скверно, как ни поверни... И полицеймейстер и доктор начинают заметно ломаться, возмущая гордость Тараса Ерми-

лыча, неумевшего кланяться. И тут выручил опять Смагин, бывший с полицеймейстером на «ты». Съездил Смагин к благоприятелю, что-то там поговорил, а ночью явилась полиция и увезла мертвяка в казенную больницу.

— Надо будет благодарность оказать его благородию, — говорил Злобин, когда все дело было улажено.

— Конечно... Только нельзя прямо совать деньги: полицеймейстер обидится, и доктор тоже.

— Я с Савельем пошлю...

— И это неудобно... По-благородному сделаем: вы дайте деньги мне, а я их проиграю полицеймейстеру и доктору. Они уж сами поймут, откуда благодать свалилась...

— Ах, Ардальон Павлыч, Ардальон Павлыч... ловко!.. Конешно, мы — мужики, и поблагодарить по-настоящему не сумеем. Каждое дело так-то...

Смагин так и сделал, как говорил: в тот же вечер, когда метал банк, доктор и полицеймейстер выиграли именно ту сумму, какая им была ассигнована в благодарность. Злобин сам наблюдал за этой игрой: из копейки в ко-

пейку все верно. Одним словом, Смагин являлся каким-то добрым гением.

Мы уже сказали, что гости не переводились в злобинском доме. Но этого было мало: из злобинского дома они всей ордой перекочевывали к Тихоновым, от Тихоновых к Сердюковым, от Сердюковых к Щеголевым, а от Щеголевых опять в злобинский дом. Получался настоящий заколдованный круг, из которого трудно было вырваться. Достаточно было раз попасть в одно из звеньев этой роковой цепи, чтобы потом уже не вырваться. После первых двух месяцев отчаянного кутежа многие оказались несостоятельными продолжать свадебное веселье дальше: одни сказывались больными, другие малодушно прятались, а третьи откровенно бежали куда глаза глядят. Покойный енисейский купец Туруханов пробовал убегать несколько раз, но его ловили и возвращали с дороги.

Когда Савелий вернулся от старика Ожигова, Тарас Ермилыч спросил:

— Ну что, сильно ругается старик?

— Порядочно-таки отзолотил нас всех, Тарас Ермилыч... Наказывал беспременно, что-

бы вы сами у него побывали.

— Лично хочет обругать?

— Это само собой, а главная причина, что у них дельце есть какое-то до вас... Все счетами меня донимали... По промыслам и по заводам неустойку с вас взыскивать хотят.

— Ладно, ладно... Будет с него: насосался он с меня достаточно. Такая ненасытная утроба... И куда, подумаешь, деньги копит? Кажется, достаточно бы, даже через число достаточно.

— Казенные подряды хотят брать Мирон Никитич и опять меня к Мишке подсылают, хотя теперь Мишка и не в случае. Не любят они очень генеральшу, потому как к ним без четвертной бумаги не подойдешь, а Мишка брал жареным и вареным. Очень сердитуют Мирон Никитич на генеральшу...

— Старуха на мир три года сердилась, а мир и не знал... Ну, а ты не забудь, что я тебе про Ардальона Павлыча говорил: надо и нам над ним шутку сшутить.

— Это насчет генеральши?

— Было тебе сказано, дурак!..

— Точно так-с, Тарас Ермилыч...

Выжидать удобного случая Савелью пришлось недолго. В тот же вечер, когда играли на половине Поликарпа Тарасыча, он рассказал историю избиения Мишки генеральшей так, что Смагин не мог не слышать, но барин и тут не выдал себя, а только покосился на подручного и закусил один ус.

— Не поглянулось? — злорадствовал Тарас Ермилыч, хотя этим путем старавшийся выместить на ловком барине свое невольное подчинение ему.

Исполнив поручение, Савелий не забыл и себя: озлобится Ардальон Павлыч и какую-нибудь пакость подведет, а много ли ему, маленькому человеку, нужно. В тот же вечер, чтобы задобрить Смагина, Савелий рассказал ему историю, как Тарас Ермилыч утром молился богу. Смагин захохотал от удовольствия, а потом погрозил Савелью пальцем и проговорил:

— Хорошо, хорошо, сахар... Понимаю!.. Только ты у меня смотри: говори, да откусывай.

— Это вы насчет генеральши, Ардальон Павлыч?

— Да, насчет генеральши. Нечего дурака валять...

По пути Смагин ловко выспросил у Савелья, какие такие дела у Злобиных и у Ожиговых, что они так боятся генерала. Ведь у них главные дела в Сибири, а генерал управляет горной частью только на Урале. Савелий, прижатый к стене, разболтал многое, гораздо больше того, что желал бы рассказать: так уж ловко умел спрашивать Ардальон Павлыч. Конечно, сибирские дела большие, но далеко хватает и генеральская сила.

— Первое дело то, Ардальон Павлыч, — повествовал Савелий, заложив по привычке руки за спину, — что сибирское золото обыскали мы, то есть Тарас Ермилыч. Ну, за ним другие бросились: Тихоновы, Сердюковы, Щеголевы. И каждый свой кус получил... Хорошо-с. А родным сибирякам это, например, весьма обидно, потому как пришли чужестранные люди и их родное золото огребают... Дикой народ и сторона немшоная, а это понимают. Вот они сейчас давай делать нам с своей стороны прижимку... Оспаривают заявки, оттягивают прииски. А это какое дело: заявляю я

спор, положим, совсем нестоющий, а работы у Тараса Ермилыча останавливают из-за моего спора. Все поперек и пойдет: рабочие кандрашные без дела сидят, провиянт гниет, приисковое обзаведение пустует, а главное — время понапрасну идет. Порядки-то в Сибири известные: один Никола бог. Ну, большая идет прижимка, и Тарасу Ермилычу приходится уж в Питере охлопатывать сибирские дела, а там один разор: что ни шаг, то и тыща. Да еще тому дай пай, да другому, да третьему... Вот генерал наш и вызволяет, потому как у него в Питере везде своя рука есть.

— Так, так, — поддакивал Смагин, соображая что-то про себя.

— Другое дело, Ардальон Павлыч, эти самые заводы, которые Тарас Ермилыч купили. Округа агроматная, шестьсот тыщ десятин, рабочих при заводах тыщ пятнадцать — тут всегда может быть окончательная прижимка от генерала. Конешно, я маленький человек, а так полагаю своим умом, что напрасно Тарас Ермилыч с заводами связались. Достаточно было бы сибирских делов... Ну, тут опять ихняя гордость: хочу быть заводчиком в том

роде, например, как Демидов или Строганов.

— Так, так... Ну, довольно на этот раз.

Удивительный был человек этот Ардальон Павлыч; никак к нему не привесишься. Очень уж ловко умел он расспрашивать... И все ему нужно знать, до всего дело. Такой уж любопытный, знать, уродился.

IV

Ардальон Павлыч Смагин просыпался очень поздно, часов в двенадцать, когда добрые люди успевали наработаться и пообедать. Впрочем, в злобинском доме этому никто и не удивлялся, потому что в качестве настоящего барина Смагин жил не в пример другим, а сам по себе. Проснется он часам к двенадцати и целый час моется да чистится, а потом наденет золотом расшитые туфли, бархатный турецкий халат, татарскую ермолку, закурит длинную трубку и в таком виде выйдет на балкон погреться на солнышке и полюбоваться божьим миром. На балкон Смагину подавали его утренний кофе. Вся злобинская челядь любовалась настоящим барином, пока он сидел на балконе и кейфовал, и даже подручный Савелий чувствовал к этому нена-

вистному для него человеку какое-то тайное уважение, как уважал вообще всякую силу. Ворчали на барина только древние старики и старухи, ютившиеся по тайникам и вышкам: продымит своим табачищем барин весь дом.

Итак, Смагин проснулся, напился кофе, выкурил две трубки, переоделся и велел подать себе лошадь. Весь злобинский дом с нетерпением ждал этого момента, потому что все знали, куда едет Ардальон Павлыч. Сам Тарас Ермилыч не показался, а только проводил гостя глазами из-за косяка.

— Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его!.. — шептал струсивший миллионер. — Устрой, господи, в добрый час попасть к генералу.

А барин Ардальон Павлыч катил себе на злобинском рысаке как ни в чем не бывало. Он по утрам чувствовал себя всегда хорошо, а сегодня в особенности. От злобинского дома нужно было спуститься к плотине, потом переехать ее и по набережной пруда, — это расстояние мелькнуло слишком быстро, так что Смагин даже удивился, когда его пролетка остановилась у подъезда генеральского дома.

Встречать гостя выскочил верный раб Мишка.

— Дома генерал? — развязно спрашивал Смагин и, не дожидаясь ответа, скинул свою летнюю шинель на руки Мишке.

— Не знаю... — уклончиво и грубо ответил Мишка, не привыкший к такому свободному обращению — сам Тарас Ермилыч смиренно ждал в передней, пока он ходил наверх с докладом, а этот всегда ворвется, как оглашенный.

Когда Смагин, оглянув себя в зеркало, хотел подниматься по лестнице, Мишка сделал слабую попытку загородить ему дорогу, но был оттолкнут железной рукой с такой силой, что едва удержался на ногах.

— Без докладу нельзя... — бормотал обескураженный Мишка.

Барин даже не оглянулся, а только, встретив на верхней площадке почтительно вытянувшуюся Мотьку, проговорил:

— Это что у вас за чучело гороховое стоит в передней? Генерал дома?

— Пожалуйте...

— А Енафа Аркадьевна?

— Они у себя в будуваре...

Мотька любовно поглядела оторопелыми глазами на красавца барина и опрометью бросилась с докладом в кабинет к генералу. Смагину пришлось подождать в большой гостиной не больше минуты, как тяжелая дверь генеральского кабинета распахнулась, и Мотька безмолвным жестом пригласила гостя пожаловать. В отворенную половину уже виднелась фигура генерала, сидевшего у письменного стола, — он был, как всегда, в полной военной форме. Большая генеральская голова, остриженная под гребенку, отливала серебром. Загорелое лицо было изрыто настоящими генеральскими морщинами. В кабинете стоял посредине большой письменный стол, заваленный бумагами, несколько кресел красного дерева, турецкий диван, обтянутый красным сафьяном, два шкафа с книгами, третий шкаф с минералами — и только. Над турецким диваном на стене развешено было в живописном беспорядке разное оружие, а в простенке между окнами портрет государя Николая Павловича во весь рост.

— Ваше превосходительство, я боюсь, что

помешал вашим занятиям... — почтительно проговорил Смагин, делая глубокий поклон.

— А, это ты, братец, — фамильярно ответил старик, не поднимаясь с места и по-генеральски протягивая два пальца. — А когда я бываю не занят? Я всегда занят, братец... Дохнуть некогда, потому что я один за всех должен отвечать, а положиться ни на кого нельзя.

— Все удивляются вашей энергии, ваше превосходительство... Город сделался неузнаваемым: чистота, порядок, благоустройство и общая благодарность.

— Благодарность?..

— Точно так, ваше превосходительство...

— Но ведь я, братец, строг, а это не всем нравится...

— Главное, вы справедливы...

— О, я справедлив! — милостиво согласился грозный старик, взятый на абордаж самой дешевенькой лестью. — Да ты, братец, садись... Ну, что у вас там нового? Очень уж что-то развеселились.

— Тарас Ермилыч просил засвидетельствовать вам свое глубокое почтение. Ведь они

молятся на вас, ваше превосходительство!

— Знаю, знаю...

— И притом народ все простой, без всякого образования. Лучшие чувства иногда проявляются в такой откровенной форме...

— Да, но нельзя этого народа распускать: сейчас забудутся. Мое правило — держать всех в струне... Моих миллионеров я люблю, но и с ними нужно держать ухо востро. Да... Мужик всегда может забыться и потерять уважение к власти. Например, я — я решительно ничего не имею, кроме казенного жалованья, и горжусь своей бедностью. У них миллионы, а у меня ничего... Но они думают только о наживе, а я верный царский слуга. Да...

Смагин почтительно наклонил голову в знак своего душевного умиления, — солдатская откровенность генерала была ему на руку. После этих предварительных разговоров он ловко ввернул рассказ о том, как Тарас Ермилыч молился утром богу и бросил свечу об пол. Генералу ужасно понравился анекдот, и генеральский смех густой нотой вырвался из кабинета.

— Три раза прилеплял свечу, а потом об пол?

— Точно так, ваше превосходительство... Бросил свечку и убежал из моленной.

— На кого же это он рассердился: на свечу или на бога?.. Надо его будет спросить самого... Ха-ха!.. «Господи помилуй!» — а потом и свечку о пол. Нет, что же это такое, братец? Послушай, да ты это сам придумал?..

— Истинное происшествие, ваше превосходительство. Удивительного, по-моему, ничего нет, потому что совсем дети природы...

— Ну, этого я не понимаю, братец, какие там дети природы бывают, а вот со свечкой так действительно анекдот... Надо будет Енафе Аркадьевне рассказать: пусть и она посмеется. Только я сам-то не мастер рассказывать бабам, так уж ты сам.

— Сочту за особенное счастие, ваше превосходительство.

— «Господи помилуй!», а потом свечку... ха-ха!.. Нет, братец, ты меня уморил... Пусть и Енафа Аркадьевна посмеется.

Подогрев генерала удачно подвернувшимся анекдотом, Смагин еще с большей ловко-

стью передал эпизод о сгоревшем с вина енисейском купце, причем в самом смешном виде изобразил страх Тараса Ермилыча за это событие.

— Вот дурак... — удивился генерал. — Да ведь он не убивал этого опившегося купца?.. Дорвался человек до дарового угощения, ну, и лопнул... Вздор! А вот свечка... ха-ха! Может быть, Тарас-то Ермилыч с горя и помолиться пошел, а тут опять неудача... Нет, пойдем к генеральше!..

Развеселившийся старик подхватил гостя под руку и повел его через парадный зал в гостиную хозяйки. Енафа Аркадьевна была уже одета и встретила их, сидя на диване. Гостиная была отделана богато, но с мещанской пестротой, что на барский глаз Смагина производило каждый раз неприятное впечатление. Сегодня она была одета более к лицу, чем всегда.

— Вот он... он все тебе расскажет... — шептал генерал, задыхаясь от смеха. — Ох, уморил!..

Повторенный Смагиным рассказ, однако, не произвел на генеральшу ожидаемого дей-

ствия, — она даже поморщилась и подняла одну бровь.

— По-моему, это очень грубо... — проговорила она, не глядя на гостя.

— Ах, матушка, ничего ты не понимаешь!.. — объяснил генерал. — Ведь Тарас Ермилыч был огорчен: угощал-угощал дорогого гостя, а тот в награду взял да и умер... Ну, кому приятно держать в своем доме мертвое тело? Старик и захотел молитвой успокоить себя, а тут свечка подвернулась... ха-ха!..

— Вам нравится все грубое, — спорила генеральша по неизвестной причине. — Да и вообще, что может быть интересного в подобном обществе? Вам, Ардальон Павлович, я могу только удивляться...

— Именно, Енафа Аркадьевна?

— Именно, что вы находите у этих богатых мужиков? Невежи, самодуры... При вашем воспитании, я не думаю, чтобы вы могли не видеть окружающего вас невежества.

— Совершенно верно, но ведь я здесь случайно... Оригинальная среда, а в сущности люди недурные.

С генеральшей Смагин познакомился в

клубе и сначала не обратил на нее никакого внимания. Но потом он по привычке начал немножко ухаживать за ней, как ухаживал за всеми дамами. Ничего особенного, конечно, в ней не было, но, как свежая и молоденькая женщина, она подогревала его чувственную сторону, — Смагин любил молодых дам, у которых были очень старые мужья, как в данном случае. В них было что-то такое неудовлетворенное и просившее ласки... Но вместе с тем этот «ферлакур» не любил очень податливых красавиц, а предпочитал серьезные завоевания, со всеми препятствиями, неудачами и волнениями, неизбежно сопутствующими такие кампании. На его взгляд генеральша соединяла в себе оба эти качества.

— Так вам нравятся наши миллионеры? — приставала генеральша, вызывающе поглядывая на гостя.

— Если хотите — да... Оригинальная среда и оригинальные нравы. Впрочем, я скоро уезжаю.

— Куда? — спросил генерал.

— В Петербург... У меня там родные и дела.

Высидев приличное время для визита,

Смагин раскланялся и уехал. На прощанье он так взглянул своими улыбающимися глазами на генеральшу, что та даже потупилась и слепка покраснела.

— Так я сегодня же вечером буду у вас, — говорил генерал, провожая гостя через зал. — Так, братец, и скажи Тарасу Ермилычу... Только, чур! не проболтайся о свечке... ха-ха!.. Уговор дороже денег. Понимаешь?

— Будьте спокойны, ваше превосходительство.

По уходе Смагина генерал долго не мог успокоиться и раза два проходил из своего кабинета в гостиную, чтобы рассказать какую-нибудь новую подробность из анекдота о свечке. Енафа Аркадьевна только пожимала плечами, а генерал не хотел ничего замечать и продолжал смеяться с обычным грозным добродушием.

— Мне кажется подозрительным этот Смагин, — заметила обозленная генеральша. — Что он за человек, зачем он живет здесь, как, наконец, попал сюда?..

— Вот тебе раз!.. — удивился генерал. — Смагин — дворянин, служил в военной служ-

бе, а здесь по своим делам...

— По каким же это делам, позвольте спросить?

— Ну, вообще, мало ли какие дела бывают... Гм... А, впрочем, кто его знает в самом деле.

— Мне кажется, что он просто шулер! — выстрелила генеральша с такой неожиданностью, что генерал даже остолбенел. — У Злобиных идет большая игра...

Генерал поднял брови, потом нахмурился, но, вспомнив про свечку, расхохотался.

— Э, матушка, куда хватила!.. Этак и я тоже шулер, потому что тоже играю в карты у Тараса Ермилыча, даже и с Смагиным не один раз играл. Играет он действительно недурно, но делает большие промахи...

В подтверждение своих слов старик рассказал последнюю партию в бостон, а потом опять засмеялся и прибавил другим тоном:

— Нет, не могу, голубушка... Сегодня же поеду к Тарасу Ермилычу и попрошу самого рассказать все... самого!.. Ха-ха-ха...

Возвращение Смагина в злобинский дом было настоящим событием. Сам Тарас Ерми-

лыч выскочил на подъезд и, когда узнал о благополучном исходе объяснения с генералом, троекратно облобызал дорогого гостя.

— Уж чем я и благодарить тебя буду? — спрашивал в умилении старик. — Глаз у тебя счастливый, Ардальон Павлыч: глянул, и готово...

— Пустяки, Тарас Ермилыч, о которых не стоит и говорить... А генерал даже смеялся и сегодня вечером хотел сам быть у вас.

— Н-но-о?

— Да... Просил передать вам.

Гости в злобинском доме не переводились, так как продолжали праздновать свадьбу, а поэтому к вечеру народу набралось нетолченая труба. Были тут и своя братия купцы, и горные чины, и военные, и не известные никому новые люди, о которых даже сам хозяин не знал, кто они и откуда. Среди гостей ходил испитой секретарь знаменитого золотого стола Угрюмов, а на почетном месте на диване сидел сам консисторский протопоп Мелетий, толстый и розовый, обросший бородой до самых глаз. Протопоп и секретарь сильно дружили и, кажется, не могли жить один без дру-

гого, — где протопоп, там и секретарь, и наоборот. Злобины и вся злобинская родня были отъявленные раскольники, но протопоп Мелетий не считал унижением бывать в злобинском доме, потому что там бывал сам генерал.

— Все мы, ваше превосходительство, грешны да божьи, — объяснял Мелетий, хитро улыбаясь. — А господь разберет, кто прав, кто виноват и что чего стоит. Вот и Угрюмов то же говорит...

— Не похвалят нас с тобой, протопоп, — отшучивался генерал, любивший хитрого попа. — Ведь ты не пошел бы к Тарасу Ермилычу, ежели бы он бедный был, да и я тоже...

Купеческая братия, состоявшая из Тихоновых, Сердюковых и Щеголевых с их прямыми и косвенными дополнениями, обыкновенно старались сбиться в одну кучку, чтобы не мешать своим присутствием разным властодержцам от воинских и горных чинов. Вообще они держались своей компании и чувствовали себя самими собой только после хорошей выпивки или внизу у Поликарпа Тарасыча, где веселье шло уже совсем нараспашку.

Наверху всех стеснял парад, — очень уж все по-модному Тарас Ермилыч наладил. Паркетный пол, расписные потолки, саженные зеркала, шелковая мебель — разойтись по-настоящему негде, чтобы каждая косточка радовалась. А когда приезжал генерал, то наверху уж совсем житья не было — все смотрели в рот генералу и молчали, за исключением самого Тараса Ермилыча, протопопа Мелетия и Смагина. То ли дело у Поликарпа Тарасыча — в одной комнате столы с закуской и выпивкой, в других комнатах столы для игры в карты, и вообще все устраивались по своему желанию. И выпить можно без приглашения, и в бостон сыграть, и песенку спеть своей компанией.

Смагин вернулся от генерала как раз к обеду. Гости, конечно, знали о его секретном поручении, и когда Тарас Ермилыч, встретив его, вернулся в столовую с веселым видом, все вздохнули свободнее: тучу пронесло мороком. Хозяин сразу повеселел, глянул на всех соколом и шепнул Савелию:

— Музыку в сад да подлеца Илюшку добудь, со дна моря достань его, а то лучше и на

глаза не показывайся...

Умел веселиться Тарас Ермилыч, когда бывал в духе — улыбнется, точно солнышком осветит всех. Так было и теперь. Гости сразу зашумели, точно пчелиный рой слетел.

— А где у нас бабы? — спрашивал старик, оглядывая гостей.

— Внизу у Авдотьи Мироновны сидят, — ответил чей-то услужливый голос.

— Подавай баб наверх, а то сиротами нам сидеть скучно... Каши маслом не испортишь.

Это уже было верхом веселья, когда Авдотья Мироновна выходила к гостям. Делала она это очень неохотно и только потому, чтобы не обидеть грозного и ласкового свекра-батюшку. Очень уж скромная была женщина, воспитанная у скряги-отца на монашеский лад. Да и по годам неоткуда было набраться смелости — уж после свадьбы пошел семнадцатый год, а то девочка девочкой. Худенькая, кроткая, с большими глазами, она походила на ребенка и ужасно конфузилась своего бабьего парчового сарафана, бабьей сороки на голове и других бабьих нарядов. Очень уж к сердцу пришлась молодая сноха Тарасу Ер-

милычу, и он не мог надышаться на нее. Другой такой скромницы не сыщешь с огнем. Сын Поликарп ростом и наружностью издался в отца, но умом не дошел — простоват был малый. Впрочем, он делался глупым только при отце, которого боялся, как огня, и отводил душу на своей половине, в своей компании. Женитьба придала ему некоторую самостоятельность.

V

Весело зашумел весь злобинский дом, точно стараясь наверстать налетевшую минуту раздумья. Пока шел обед, на хорах играл оркестр горных музыкантов. Собственно говоря, это была «казенная музыка», но Тарас Ермилыч платил за нее и казне и самим музыкантам, что было дороже, чем содержать собственный оркестр. После обеда все гости перешли сначала на террасу, куда был подан чай. Подгулявшие гости галдели, а Тарас Ермилыч ходил между ними с бутылкой рому и сам подливал в стаканы «архирейских сливочек», как говорил протопоп Мелетий. Смагин после обеда пил пунш, вернее — ром, чуть-чуть разбавленный горячей водой с сахаром.

— Музыкантов! — командовал разгулявшийся Тарас Ермилыч.

По условию, оркестр не обязан был играть после обеда, но Савелий уговорил капельмейстера, старичка немца Глассера.

— В накладе не будете, — объяснял подручный. — Сверх числа будете благодарить, ежели угодите Тарасу Ермилычу. Не таковский человек, чтобы зря слово молвил.

Музыканты не спорили, хотя и устали за обедом. Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что «духовые инструменты» падали в обморок от натуги, а оставались одни скрипки, виолончели и контрабас. Сам немец Глассер не знал усталости, особенно когда нужно было выслужиться перед генералом, — строгий и неумолимый был немец. В случае ослушания музыкантов садили на гауптвахту, как простых солдат. Слабым местом Глассера было то, что он состоял на службе в горном ведомстве и получал чины

за выслугу лет, а следовательно, мог рассчитывать и на пенсию. «Немец, я тебя не забуду», — говорил генерал Голубко и трепал покладистого музыканта по плечу на зависть всем другим мелким горным чинам.

Для музыкантов в саду была устроена особая беседка, напротив большого павильона, с колоннами, где могло поместиться больше ста человек гостей. Когда оркестр занял свое место, Тарас Ермилыч повел гостей в павильон. Это составляло своего рода забаву, потому что павильон стоял в центре громадной куртины с запутанной дорожкой, — незнакомый гость мог обойти павильон раз пять, прежде чем попадал в него. Эта детская забава повторялась после обеда с каждым новым гостем, причем не было сделано исключения даже для протопопа Мелетия. В павильоне сидел генерал и весело смеялся, пока протопоп блуждал меж куртин. Добравшись до павильона, протопоп Мелетий отер платком пот с лица и заметил:

— Над собой смеешься, Тарас Ермилыч...

— Ну, не сердись, протопоп, — утешал его хозяин, — видел, у подъезда выездная лошадь

стоит? Дарю ее тебе вместе с фаэтоном за свою обиду!.. А хочешь, так и кучера возьми на придачу, — прибавил Тарас Ермилыч для шутки.

— Не надо мне твоего кучера, — взмолился протопоп, — мне не на кучере ездить, а на лошади... Кормить его еще надо, а он будет пьянствовать. Не надо мне кучера, а за лошадь спасибо.

Теперь повторилась та же история с новыми гостями. Их нарочно задержали на террасе, пока свои люди пробирались в павильон. Потом явился Савелий с приглашением:

— Тарас Ермилыч просят пожаловать в павильон...

Проводив жертву готовившейся потехи до начала дорожки в павильон, Савелий незаметно скрылся. Неопытные гости один за другим направились к беседке, вызывая дружный хохот, остроты и обидные советы. Тарас Ермилыч для вящей потехи вышел в двери павильона и усиленно приглашал сконфуженно блуждавших по дорожкам новичков.

— Милости просим, господа... Да поскорее, а то других заставляете ждать.

— Держи нос направо! — кричал чей-то захмелевший голос.

Надрывал животики весь павильон над хитрой немецкой выдумкой, хохотали музыканты, и только не смеялись березы и сосны тенистых аллей. Эту даровую потеху прекратило появление генерала, о чем прибежали объявить сразу пять человек. Позабыв свою гордость, Тарас Ермилыч опрометью бросился к дому, чтобы встретить дорогого гостя честь честью. Генерал был необыкновенно в духе и, подхватив хозяина под руку, весело спрашивал:

— Ну что, веселишься, Тарас Ермилыч... а?

— Пока бог грехам нашим терпит, ваше превосходительство.

— А много грехов, братец?

— Есть-таки, ваше превосходительство. Только родительскими молитвами и держимся пока, а то давно бы крышка.

— Сам хорошенько богу молись, братец, — посоветовал генерал и хотел выговорить вертевшееся на языке словечко, но удержался.

Появление генерала в саду было встречено громким тушем, а пьяные гости заорали ура.

Генерал по-военному отдал под козырек.

— Вы у нас, ваше превосходительство, как отец родной, — повторял Тарас Ермилыч стереотипную фразу, — а мы как дети неразумные... Пряменько сказать, как тараканы за печкой, жмемся около вашего превосходительства.

— Так, так... А бога-то все-таки не следует забывать. Что это гости-то у тебя раненько подмокли, Тарас Ермилыч?

— Есть такой грех, ваше превосходительство...

При входе в павильон генерала встретила сама Авдотья Мироновна с бокалом шампанского на подносе. Генерал выпил при звуках нового туша и расцеловал застыдившуюся хозяйку по-отечески в губы.

— Вот это хорошо, когда такая красавица хозяйка в доме, — похвалил генерал еще раз.

— Милости просим... — по-детски лепетала Авдотья Мироновна. — Не обессудьте на нашей простоте, ваше превосходительство.

Гости, конечно, все стояли на ногах, вытянувшись шпалерой около стены. От хозяйки генерал подошел к протопопу Мелетию и

принял благословение, как делал всегда.

— А ты что здесь делаешь, протопоп? — осведомился генерал. — Не в свой приход залез.

— Больной нуждается во враче, а не здоровый, — ответил Мелетий с обычной находчивостью. — Пред серпом гнева божия мы все, как трава в поле...

— А знаешь, что Петр Великий сказал вот про это самое: пред господом-то богом мы все подлецы и мерзавцы. Вот как он сказал...

Кое с кем из именитых людей генерал поздоровался за руку, а Смагина точно не замечал.

Появление генерала приостановило кипевшее до него веселье, и гости разбились на отдельные кучки. Генерал сел на парадном месте и посадил по одну руку молодую хозяйку, а по другую своего любимца, протопопа Мелетия.

— Веселитесь, господа, я не желаю вам мешать, — обратился он к остальным. — Я такой же здесь гость, как и вы все.

Это милостивое разрешение, конечно, не вернуло давешнего веселья, хотя некоторые

смельчаки и пробовали разговаривать вслух. Впрочем, всех утешало то, что генерал не засидится. Тарас Ермилыч был совершенно счастлив: протопоп Мелетий да Смагин выручат, а потом можно будет генерала за карты усадить. Важно то, что он не погнушался злобинским домом и милостиво пожаловал. Одним словом, все шло как по-писаному.

— Сам-то ты что не садишься? — спрашивал генерал хозяина.

— Хозяин, что чирей, ваше превосходительство: где захочет, там и сядет.

Когда генерала усадили за карточный стол, в павильоне появился Савелий с известием, что коробейник Илюшка сейчас придет. Это был общий любимец и баловень. Действительно, через несколько минут появился и знаменитый Илюшка. Среднего роста, плечистый, с кудрявой головой и типичным русским молодым лицом, он не был красавцем, но держал себя, как все баловни — с скучающей самоуверенностью и легкой тенью презрительного равнодушия. Илюшка шел одетый, как всегда: курточка, сапоги бутылкой, за плечами короб с вязниковским товаром, а

шапка в левой руке — единственный знак почтения к собравшемуся обществу. Он и шел по садовой дорожке своим вязниковским шагом, согнувшись и подавшись левым плечом вперед — правое оттягивала назад коробка с товаром.

— Ты что же это, Илюшка, и глаз не кажешь? — накинулся на него Тарас Ермилыч. — Как за архиреем, посла за тобой посылай.

Илюшка ответил не сразу, а сначала поставил свою коробку на пол, встряхнул кудрями и огляделся.

— Некогда мне, Тарас Ермилыч. Видишь: товаром торгую... — ответил Илюшка и посмотрел дерзко на хозяина. — И сюда пришел с своей музыкой.

— Ах ты, ежовая голова! И товара-то твоего на расколотый грош, а ты еще разговоры разговариваешь...

— Для нас и грош деньги, да другой грош мой-то потяжельше всей твоей тыщи будет.

— Ну, ну, достаточно. Этакой ты головорез, Илюшка... Савелий, возьми у него короб да унеси в горницу, а тебе, Илюшка, положен-

ную сотенную бумагу.

— Много благодарны, Тарас Ермилыч, а только короба я не продаю: что в коробе — твое, а короб у меня заветный.

— Разговаривай: за заветное из спины ремень.

Илюшка уж не первый короб продавал таким манером разгулявшемуся Тарасу Ермилычу и прятал сторублевую бумажку в кожаный кисет с таким видом, точно он делал кому-то одолжение. Так было и сейчас. Подручный Савелий даже прищурился от досады, — очень уж ловок был пройдоха-вязниковец: и деньги возьмет да еще поломается всласть над самим Тарасом Ермилычем.

— Теперь литки, Илюшка, — шутил кто-то. — С продажей надо поздравить тебя.

— Не потребляем, — отвечал Илюшка, не удостаивая спрашивавшего даже взглядом.

— А ежели Тарас Ермилыч тебя попросит рюмкой водки?

— Скажу спасибо на угощенье, а выпить мою рюмку найдется охотников.

— Тебя не переговоришь, Илюшка: с зубами родился.

Появление Илюшки всегда сопровождалось подобными разговорами, — он умел отгрызаться, забавляя публику и не роняя собственного достоинства.

— Будет тебе ершиться, Илюшка, — уговаривал Тарас Ермилыч, — лучше разуважь почтенную публику...

— Што же, ваше степенство, я не спорюсь, — совершенно другим тоном ответил Илюшка, встряхивая своими кудрями и опуская глаза.

Злобин махнул платком музыкантам. Оркестр грянул проголосную русскую песню, одну из самых любимых. Илюшка совсем закрыл глаза, приложил руку к щеке и залился своим высоким тенором:

Не белы-то снеги в поле забелилися...

Глассер взмахами своей палочки постепенно закрыл трубы, контрабас, флейты и скрипки, и голос Илюшки разлился по всему саду серебристой струей. Весь павильон затих, а Илюшка все пел, изредка полуоткрывая глаза, точно он сам пьянел от своей песни.

Послышались тяжелые вздохи и восторженный шепот. Грозный генерал слушал, склонив голову набок, секретарь Угрюмов совсем скорчился на своем стуле. Тарас Ермилыч вытирал катившиеся слезы платком. Смагин прищуренными глазами наблюдал Авдотью Мироновну, которая сидела за столом бледная-бледная, с остановившимся взглядом, точно она застыла. Песня уже замерла, а публика все еще не могла очнуться, пока Тарас Ермилыч не крикнул:

— Хорошо, подлец!..

Поднялся настоящий гвалт. Все полезли к Илюшке. Кто-то целовал его, десятки рук тянулись обнимать. На время все позабыли даже о присутствовавшем генерале. Тарас Ермилыч послал с Савелием оркестру сторублевую бумажку и опять махнул платком. Передохнувший Илюшка снова залился соловьем, но на этот раз уж веселую, так что публика и присвистывала, и притоптывала, и заежилась как от щекотки.

— Хороший бы дьякон вышел из него, — заметил протопоп Мелетий, показывая генералу глазами на Илюшку. — Тенористый...

— Нет, форейтор вышел бы лучше, — спорил генерал.

— Нет, дьякон...

— Не спорь, протопоп!..

— Дьякон!..

Заспоривших стариков помирил какой-то ловкой шуткой Смагин. Взглянув на него, генерал вдруг расхохотался: он вспомнил анекдот про свечку.

Десять песен спел Илюшка и получил за них сто рублей. Оркестру Злобин платил за каждую песню тоже по сту рублей, — разошелся старик. Когда Илюшка кончил, Тарас Ермилыч налил бокал шампанского и велел снохе поднести его певуну. Авдотья Мироновна вся заалелась, когда Илюшка подошел к ней.

— Ну-ка, погляжу я, как ты не выпьешь теперь? — весело спрашивал Тарас Ермилыч, обнимая его. — Ну-ка?

Илюшка встряхнул своими кудрями, глянул на застыдившуюся хозяйку и единым духом выпил все вино, а бокал разбил об пол.

— Никогда капли в рот не брал и не возьму больше, — говорил он, кланяясь хозяйке в по-

яс.

— Ах ты, разбойник! — журил его Злобин. — Посудину-то зачем расколотил? Ну, да бог с тобой, Илюшка… Уважил.

Вскинув на богатырское плечо принесенный Савелием пустой короб и поклонившись всей честной компании, Илюшка пошел от павильона, помахивая своей шапкой. Авдотья Мироновна проводила его своими грустными глазами до самого выхода.

Этот праздник закончился совершенно неожиданной развязкой.

Когда Илюшка ушел, общее внимание опять сосредоточилось на генерале. Старик был в духе, и все чувствовали себя развязнее обыкновенного. Тарас Ермилыч подсел к генералу и весело спросил:

— Вашему превосходительству надоело, поди, наше мужицкое веселье? Сами-то мы лыком шиты…

— Нет, зачем надоесть, — ответил генерал, улыбаясь. — А вот ты, Тарас Ермилыч, как свои грехи будешь отмаливать?

— Обыкновенно, ваше превосходительство, как и все протчии…

— Обыкновенно?.. Да ты не стесняйся и расскажи, а мы с протопопом послушаем... ну?..

В первую минуту Злобин не понял вопроса, а потом укоризненно посмотрел на Смагина. Эх, продал барин...

— Ну, что же ты молчишь? — приставал генерал. — А то, хочешь, я и сам могу рассказать, как ты богу молишься.

— Зачем же вам утруждать себя, ваше превосходительство, — спохватился Злобин. — Это вы насчет свечки?..

— Вот за это люблю! — похвалил генерал. — Умен... Ну, так как было дело?

Все гости навострили уши, смутно догадываясь, что творится что-то совсем необыкновенное. Савелий стоял в дверях и чувствовал, как от последних слов Тараса Ермилыча у него захолонуло на душе. Не в добрый час он разболтал все Ардальону Павлычу... Человек, под которым подломился лед, вероятно, испытывает тем же, что переживал сейчас Савелий: у него даже в ушах зашумело, а перед глазами пошли красные круги. Пропал, пропал, пропал... А Тарас Ермилыч вытянулся пе-

ред генералом и рассказал начистоту все, как было дело. Генерал принимался несколько раз хохотать, прерывая рассказ. Улыбался и протопоп Мелетий, поглядывая на Смагина.

— Ну, и в третий раз прилепил свечку? — спрашивал генерал.

— И в третий... — глухо ответил Злобин. — И в третий... А потом, ваше превосходительство, бросил ее об пол и убежал из меленной. Вот так...

Последние слова старик выговорил совсем красный, а затем выбежал из павильона. Генерал только хотел захохотать, но так и остался с раскрытым ртом. Наступила минута мертвой тишины. Грузная фигура Тараса Ермилыча мелькнула уже на выходе из сада.

— Позвольте, зачем же он убежал? — недоумевал генерал, обводя всех глазами. — Обиделся?

— Сие не подобает, — за всех ответил протопоп Мелетий.

В свою очередь обиженный генерал поднялся с места и, не простившись с хозяином, уехал домой.

VI

Неожиданная размолвка с генералом всей своей тяжестью обрушилась на подручного Савелия. Весь злобинский дом сразу затих. Тарас Ермилыч из сада пробежал прямо в моленную и там заперся. Он неистовствовал, рвал на себе волосы и даже плакал; посмеялся над ним генерал при всех. Вспылил Тарас Ермилыч не во-время, а теперь генерал рассердился, — уломай-ка его. А без генерала дохнуть нельзя. Больше всего бесило «ндравного» и «карахтерного» старика сознание своего полного бессилия. Что нужно было бы сделать по первому разу: Смагина в шею, да и Савелья тоже — два сапога пара. Но, раздумавшись, Злобин сообразил, что именно этого и не следует делать: Савелий разболтался не от ума, а без Смагина не обойтись. Кто помирит с генералом, как не Ардальон Павлыч? Придется ему же, Ардальону Павлычу, и кланяться. Чтобы сорвать на ком-нибудь расходившееся сердце, Злобин позвал вечером Савелья к себе в моленную и неистовствовал над ним часа два: и кричал, и ругался, и топал ногами, и за волосы таскал. А Савелий молчал, как зарезанный: кругом виноват, о чем же тут гово-

рить.

— Перед всем народом осрамил меня генерал из-за тебя! — визжал Злобин, наступая на Савелья с кулаками. — Легко это было мне переносить! Голову ты с меня снял своим проклятым языком. Эх, показал бы я вам с Ардальоном Павлычем такую свечку, что другу и недругу заказали бы держать язык за зубами.

— Виноват, Тарас Ермилыч...

— Да мне-то от этого легче, а?.. Ирод ты треокаянный...

Тяжелая злобинская наука продолжалась битых два часа, так что Савелий вышел из моленной краснее вареного рака, в разорванной рубахе и с синяком на лице. Он как-то совсем одурел. Сызмала служил у Тараса Ермилыча, рассчитывал, что старик за верную службу из подручных определит куда-нибудь на свои золотые промыслы или на заводы смотрителем, на хорошее жалованье, а теперь все пропало. Не забудет Тарас Ермилыч его провинности до смерти. Одним словом, вышло такое дело, что ложись и помирай... Да и на двор с избитой рожей показаться было стыдно. Три дня Савелий пролежал у себя в каморке, а потом

уж совсем тошно сделалось. Вспомнил он про другого верного раба Мишку, которого лупила генеральша, и вечерком отправился в генеральский дом поделиться горем.

— Где это тебе морду-ту разрисовали? — удивлялся Мишка, разглядывая Савелия. — Ловко... Должно полагать, на самого натакался?

В каморке Мишки, под генеральской лестницей, Савелий подробно рассказал все свое горе и как оно вышло. Мишка в такт рассказа качал головой и в заключение заметил:

— Бывало мое дело не лучше твоего. Нажалилась как-то генеральша на меня, так генерал нагайкой меня лупцовал-лупцовал, так и думал: на месте помру. После-то снял рубаху, так вся спина точно пьявками усажена... Вот как бывает, милый ты друг!.. У тебя хоть причина есть, а у меня и этого не бывало.

— Усолил меня Ардальон Павлыч, — жаловался Савелий, — кажется, взял бы да зубом его перекусил, как клопа... С ума он у меня нейдет! Лежу у себя и думаю: порешу я Ардальона Павлыча, и делу тому конец, а сам в скиты убегу, и поминай, как звали.

— Ну, это ты напрасно, милаш... Обожди, может, и сойдет все. Ведь я вот терплю...

— Терпишь, Миша... ах, как терпишь! Я тебя в прошлый-то раз даже вот как пожалел.

Долго шла душевная беседа в каморке, под генеральской лестницей, и верный раб Мишка все утешал верного раба Савелья, а тот слушал и молчал. На прощанье Мишка неожиданно проговорил:

— Да послушай, Савелий, брось ты совсем своих кержаков! Ей-богу, брось...

— Как же это так бросить-то? — удивился Савелий, которому эта простая мысль даже в голову не приходила. — Служил я без мала двадцать годов, а ты: брось...

— Другая собака цепная и больше служит, пока не удавят... Нет, што я тебе скажу-то, милаш. Может, оно и лучше, што Тарас Ермилыч тебя оттрепал на все корки. Бывает... Когда ты в прошлый раз у меня был, так вот в этой самой каморке скрывался один человек. Ко мне приходил с поклоном, потому как ему гадалка судьбу сказала... Так, ничтожный человек, а попал через меня к случаю. Сосунова слыхал в горном правлении? Ну, так его съел

Угрюмов до конца, а Сосунов теперь в караванные попал. Моих рук дело... Улучил минуту, когда с генералом на днях в завод ездили, и обстряпал все. Так вот я и скажу Сосунову — он тебя к себе возьмет... Положим, жила он собачья, Сосунов-то, а меня боится.

— Спасибо на добром слове, Михайло Потапыч, а только я подумаю... Первое дело, надо мне отместку Ардальону Павлычу сделать. Жив не хочу быть...

— Как я генеральше?.. Вот за это люблю, Савелий. Ну, ин, подождем.

На этом верные рабы и порешили, хотя предложение Мишки и засело в голове Савелия железным клином. Мирон Никитич давно хотел прибрать к своим рукам казенный караван — очень уж выгодное дело, ну, да опять, видно, сорвалось. Истинно, что везде одно счастье: не родись ни умен, ни красив, а счастлив. Откуда злобинские миллионы — тоже счастье, а без счастья и Тарасу Ермилычу цена расколотый грош.

Савелий был своим человеком в злобинском доме, почти родным, и мысль о том, что его нужно оставить, казалась ему несбыточ-

ной и дикой. Когда Савелий поступал к Злобину, старик кое-как перебивался разными делами. Была у него своя небольшая салотопенная заимка, при случае брал Тарас Ермилыч разные подряды и кое-как сводил концы с концами. Весть о сибирском золоте прошла в раскольничьем мире довольно давно, ее разнесли разные сибирские старцы да шляющиеся божьи люди. Первые попытки добраться до этого золота кончились неудачей, а предприниматели разорились, как Телятниковы или Часовниковы. Но эти неудачи не остановили Тараса Ермилыча. Был он тогда в полной силе, продал свою заимку, перехватил деньжонок у разной родни и отправился пытать счастья в далекую енисейскую тайгу вместе с Савельем. Легкая рука оказалась у Тараса Ермилыча, — отыскал он первое золото ровно через год. На готовое дело все-таки нужны были большие деньги, но на этот раз выручил старик Ожигов. Выговорил он себе половину всех чистых доходов, тройные проценты и выдал Злобину пятьдесят тысяч. Ожиговские деньги с лихвой оправдались в первый же месяц, а там золото полилось ши-

рокой рекой. На прииске Заветном каждый день намывали по пуду золота, — как намыли пуд, сейчас у конторы стреляла пушка, и все работы шабашили. Таким образом, в каких-нибудь пять лет Злобин заработал чистенький миллион. А дальше пошло уже бешеное золото. Через десять лет Злобин купил лучшие заводы на Урале и женил своего сына на дочери Мирона Никитича, — злобинские и ожиговские миллионы соединились. Злобинская свадьба представляла собой что-то невероятное, и праздники затянулись на целый год, да и конца им не предвиделось. Достаточно оказать, что скуплено было и выпито в первый месяц все шампанское, какое только можно было достать в трех соседних губерниях.

Не мог уйти Савелий из злобинского дома, да и оставаться в нем ему было хуже смерти. Еще с Тарасом Ермилычем можно было помириться — крут сердцем да отходчив, а вот Ардальон Павлыч на глазах как бельмо сидит. Благодаря размолвке Тараса Ермилыча с генералом Смагин забрал еще больше силы. Он уже несколько раз ездил в генеральский дом

для предварительных разведок и возвращался с загадочно-таинственным лицом, а на немой вопрос хозяина только пожимал плечами.

— Да я, кажется, ничего бы не пожалел, кабы насчет денег... — повторял удрученный горем Злобин. — Только утихомирить бы генерала, Ардальон Павлыч.

— И деньги понадобятся в свое время, — таинственно отвечал Смагин. — Деньги — сила...

— Сила-то сила, да как с этой силой к генералу подступиться?

— Надо подумать, Тарас Ермилыч...

— Родной, только выручи! Ничего не пожалею...

И Смагин думал. Каждый вечер на половине Поликарпа Тарасыча шла крупная игра. В главных парадных покоях, где раньше стояло разливанное море, теперь было совсем тихо, а внизу с вечера наглухо окна запирались железными ставнями и собиралась своя небольшая компания. Здесь играли в большую игру, и выигрывал большею частью Смагин, — ему везло, как утопленнику. Проигрывались два

горных инженера, секретарь Угрюмов, казачий полковник, несколько купчиков, а главным образом, сам хозяин, Поликарп Тарасыч. Старик Злобин, конечно, знал, чем занимаются на половине сына, но приходилось молчать, потому что, ежели обидеть Ардальона Павлыча, тогда вполне зарез. Что думал Поликарп Тарасыч, думал ли он вообще что-нибудь — трудно сказать. К вечеру он постоянно был сильно навеселе, усвоив привычку напиваться потихоньку от отца и жены. Единственное, что его занимало, — это были карты, и он с нетерпением дожидался вечера, как праздника. Авдотья Мироновна показывалась к гостям редко и сидела одна в своих комнатах, окруженная приживалками, странницами и божьими старушками. С мужем она виделась только утром, когда он совсем пьяный засыпал где-нибудь на диване. Редкие случаи, когда он делался с ней ласков, заканчивались обыкновенно просьбой денег. Свои деньги Поликарп Тарасыч давно проиграл, у отца просить не смел и теперь проигрывал женино приданое, хотя Мирон Никитич за дочерью и не дал больших денег, а

только обещал «не обидеть». Когда и эта статья была исчерпана, Поликарп Тарасыч пригласил к себе в кабинет Савелья, притворил дверь и без обиняков проговорил:

— Добывай денег...

— То есть как денег, Поликарп Тарасыч?

— А вот так... Хоть из своей кожи вылезь, а добывай. И чтобы отец ничего не знал, а то голову оторву. Вот тебе и весь сказ... Ведь я единственный наследник и рассчитаюсь.

— А ежели тятенька узнают?

— Семь бед — один ответ... Надейся на меня, не выдам...

Положение Савелия оказалось сквернее самого скверного: и единственного наследника злобинских миллионов нельзя было обижать, и Тарас Ермилыч мог все узнать, и денег было достать трудно. Долго молчал Савелий, переминаясь с ноги на ногу, пока не заметил:

— Ведь это прорва, Поликарп Тарасыч... Я насчет Ардальона Павлыча. Никаких денег для них не хватит, и ничем их не удивите.

— Ну, я тебе сказал свое, а ты мне без денег на глаза не показывайся. Знать ничего не хочу, а деньги чтобы были... слышал?.. Да язык

держи за зубами, чтобы вторая свечка не вышла...

Пришлось Савелью пуститься на разные аферы. Обошел он всех тугих людей, которые тайно давали деньги под заклад и большие проценты, обошел еще более тугих заимодавцев, выдававших ссуды под двойные векселя, своих раскольничьих стариков и старушек, скопивших на смертный час разные крохи, — везде взял, везде просил и унижался, и все это было сейчас же проиграно. Пришлось закладывать брильянты и золотые вещи Авдотьи Мироновны, а за это досталось бы вдвойне, и от Тараса Ермилыча и от Мирона Никитича. Но и этого было мало: Поликарп Тарасыч требовал все новых денег. Когда все статьи таким образом были исчерпаны, у Савелья опустились руки: денег взять было негде. Но в минуту такого глухого отчаяния людей озаряют иногда неожиданно счастливые мысли: верный раб Савелий вспомнил про верного раба Мишку — вот у кого должны быть деньги. Старик Савелий слыхал, что Мишка ссужает верных людей и что он же дал новому караванному Сосунову на первоначальное обза-

ведение. Не откладывая дела в долгий ящик, Савелий отправился в генеральский дом.

— Ну, што, милаш, скажешь? — спрашивал Мишка. — Зажил с лица-то? А меня генеральша полирует пуще прежнего.

Попросить денег с первого слова было неудобно, и Савелий долго мучил благоприятеля всевозможной околесиной, пока самому не надоело. Когда он, оглядевшись, заговорил о деньгах, Мишка отчаянно замахал руками. Какие у него деньги?.. Что и выдумают добрые люди!.. Нашли денежного человека... Когда Савелий рассказал свое горе начистоту, Мишка задумался.

— Што бы тебе к первому бы ко мне прийти? — понял он. — Может, я нашел бы подходящего человека... У самого-то у меня нет денег — известное наше жалованье: четыре недели на месяц получаем. Да притом и то сказать, сколько ни добудь, все деньги проиграете Смагину... Вот еще человек навязался, подумаешь!.. К нам он теперь зачастил и все больше с моей генеральшей разговоры разговаривает...

Верный раб Мишка оказался гораздо про-

ще, чем предполагал Савелий, — поломавшись в свою волю, он сразу отвалил три тысячи да еще без векселя, а просто на честное слово. Было выговорено всего одно условие, именно, что Мишка вручит деньги лично Поликарпу Тарасычу, когда тот прикажет. К фамилии Злобиных Мишка чувствовал какое-то рабское доверие, не то, что к Сосунову: что значат его гроши при злобинских миллионах? А когда Тарас Ермилыч умрет, ведь все миллионы достанутся Поликарпу, — он не забудет Мишкиной выручки. В назначенный день и час Мишка явился в злобинский дом с деньгами, и Поликарп Тарасыч принял его очень вежливо и даже собственноручно подал стакан водки.

— Что же ты мало денег принес? — проговорил он, не считая пачку ассигнаций. — Такими пустяками не стоило тебя беспокоить...

— Все, сколько есть, Поликарп Тарасыч...

Конечно, и эти деньги постигла та же участь, как и добытые Савельем раньше. Потребованный в злобинский дом вторично, Мишка заперся: нет больше денег, и конец тому делу.

— Что же я буду делать, дурак ты эдакий? — спрашивал Поликарп Тарасыч.

— Не могу знать-с...

— Ведь мне нужны деньги до зарезу, — понимаешь?

— Попросите у Ардальона Павлыча: у них теперь большие тысячи.

— Попроси-ка у него сам... Ну, все это вздор!..

Поликарп Тарасыч прошелся по комнате несколько раз и, схватившись за голову, заговорил:

— Несчастный я человек, Миша... И нет меня несчастнее во всем Загорье! Все меня считают за богатого: единственный злобинский наследник, женился на миллионщице, а я должен просить денег у халуя. Камень на шею да в воду — вот какая моя жизнь, Миша!

— Што вы, Поликарп Тарасыч! Какие вы слова выговариваете?.. Просты вы очень, а тут лютый змей навязался...

Пожалел верный раб Мишка миллионного наследника за его простоту и еще дал денег, но это уж было в последний раз: у самого Мишки ничего не оставалось.

А Смагин продолжал все ездить в генеральский дом и теперь бывал часто у одной генеральши, если генерал куда-нибудь уезжал. Даже случалось как-то так, что Смагин точно знал, когда генерала нет дома. Впрочем, для проформы он всегда спрашивал в передней вытягивавшегося в струнку Мишку:

— Генерал дома?

— Никак нет-с, Ардальон Павлыч...

— Гм... как же это так?.. — вслух раздумывал Смагин и потом решал: — Ну, доложи генеральше.

Но Мишке и докладывать не приходилось, потому что Мотька уже выскакивала на верхнюю площадку лестницы и кричала:

— Пожалуйте, Ардальон Павлыч... Ее превосходительство просили вас пожаловать к ним.

Мотька точно знала из минуты в минуту, когда приедет Смагин, что, конечно, не ускользнуло от зоркого глаза Мишки. Что-то неспроста разгулялся ловкий барин... Конечно, Мотька знает все, да только из нее правды топором не вырубишь. О своих подозрениях Мишка, конечно, никому не сообщал, но по

пути припомнил рассказ Сосунова, как он встретил генеральшу у ворожеи Секлетиньи. О чем было ворожить генеральше, да и не генеральское это дело разъезжать по ворожеям. Вообще Мишкин нос учуял что-то неладное, о чем он не смел даже догадываться...

В злобинском доме Смагин держал себя с прежним гонором, и Тарас Ермилыч должен был все переносить. Что же, сам виноват, зачем тогда дураком убежал из павильона? Самодур-миллионер даже стеснялся заговаривать с Смагиным о генерале: просто как-то совестно было, а сам Смагин упорно молчал. Только раз он привез как-то лист и просил подписать какую-нибудь сумму на богоугодные заведения.

— Да сколько угодно!.. — обрадовался Злобин.

— Не сколько угодно, а сколько нужно. Если подпишете много, это выйдет вроде взятки, — поучал Смагин, — а это бестактно... Подписку собирает генеральша. Понимаете?

— Ну, а как мое дело, Ардальон Павлыч?

— Нужно подождать... Генеральша обещала похлопотать за вас, но ведь вы сами знае-

те, какой человек генерал. Устроится все помаленьку, только не нужно нахально лезть к нему на глаза.

Эта благотворительная подписка повторялась несколько раз, но Злобин был рад угодить генеральше за ее хлопоты хоть этим. А результаты генеральского неблаговоления уже давали себя чувствовать; по крайней мере самому Тарасу Ермилычу казалось, что все смотрят на него уже иначе, чем раньше, и что на первый раз горноправленский секретарь Угрюмов совсем перестал бывать в злобинском доме, как корабельная крыса, почуявшая течь.

VII

Выплаканные у Мишки деньги, конечно, не спасли Поликарпа Тарасыча и ушли по тому же адресу, как и добытые раньше. А игра шла все дальше, и Ардальон Павлыч записывал уже хозяйские проигрыши в кредит. Но и этому наступил конец. Раз вечером, прометав талию, Смагин отвел Поликарпа Тарасыча в сторону и заметил лаконически:

— Так порядочные люди не делают, молодой человек...

— Это насчет денег, Ардальон Павлыч? У меня ничего нет...

— А вы знаете, молодой человек, как это называется?..

Молодой человек молчал, уныло опустив голову. Смагин взял его своей железной рукой за плечо, встряхнул и с искаженным бешенством лицом прошептал:

— Подлостью называется, щенок, а подлецов бьют...

Результатом этой коротенькой домашней сцены было то, что подручный Савелий, несмотря на ночное время, полетел к старику Ожигову. Это была отчаянная попытка, но нужно же было хотя что-нибудь сделать...

Старинный ожиговский дом засел на берегу р. Порожней, у самого выезда из города, где уже начинались салотопенные заимки. Каменный двухэтажный дом строился не зараз, а поэтому окна, выходившие на улицу, были неодинаковой величины и расположились на разной высоте. Злобин часто смеялся над стариком Ожиговым по этому случаю и называл его дом скворечницей. Старик прищуривал свои хитрые серые глазки и, собрав в горсточ-

ку свою редкую бородку клинышком, отвечал всегда одно и то же: «Вот помру, тогда наследнички выстроятся по-твоему, сватушко, а мне уж не к лицу... Не по бороде нам высокие-то хоромы, а кому надо, так не побрезгуют и моей избушкой!»

Когда Савелий подошел к ожиговскому дому, на дворе завизжали блоки и раздался хриплый лай двух здоровенных киргизских волкодавов. Впрочем, во втором этаже в двух самых маленьких оконцах теплился слабый свет — значит, старик еще не спал. Савелий осторожно постучал в калитку и отошел. Когда вверху отворилась форточка, он по раскольничьему обычаю помолитвовался:

— Господи Исусе Христе, помилуй нас...

— Аминь... Кто крещеный без поры, без время?

— Это я, Мирон Никитич, подручный Савелий... От Поликарпа Тарасыча послом пришел: дельце есть.

— Ах, полуночники!.. — заворчала хозяйская голова и скрылась.

Савелью пришлось подождать довольно долго, пока свет наверху исчез и послышался

стук отворявшихся дверей. Старик с фонарем в руках шел на двор, потому что ключа от калитки в ночное время он не доверял никому.

— Это ты, Савельюшко? — спросил он, не решаясь отворить калитку.

— Я, Мирон Никитич... от Поликарпа Тарасыча.

Щелкнул железный затвор, точно кто чавкнул железной челюстью, и калитка приотворилась вполовину, — старик навел свет фонаря на ночного гостя, чтобы окончательно убедиться в его подлинности. Попасть в ожиговский дом и днем было труднее, чем в острог, потому что никто не мог войти в него или выйти без ведома самого хозяина. От калитки проведен был в комнату Мирона Никитича шнурок, и он сам отворял и затворял ее. Редкие выходы самого хозяина сопровождались чисто тюремными предосторожностями, да и сам он походил не на хозяина, а на тюремщика.

— Добрым людям спать не даете, — ворчал старик, запирая калитку тяжелым железным засовом. — Не стало вам дня-то, полуночники.

— Не своей волей я пришел, Мирон Ники-

тич.

— Знаю, Савельюшко: не к тебе и слово молвится, а кто постарше тебя.

Они подошли к ветхому деревянному крылечку с узкой деревянной лестницей наверх. Пропустив Савелья вперед, старик оглядел еще раз весь двор и с кряхтеньем начал подниматься за ним. Горькая была эта лесенка, и нуждавшиеся люди хорошо ее знали: редко спускались по ней с деньгами в руках. Сам Тарас Ермилыч хаживал по ней не один раз, — гордый был человек, но умел покориться. В низенькой темной передней Савелий остановился, пропустив хозяина вперед.

— Я тебя по первоначалу-то и не узнал, Савельюшко, — каким-то дребезжащим голосом бормотал Мирон Никитич, еще раз направляя свет фонаря на своего ночного гостя. — Нет, не узнал, Савельюшко.

По своему обыкновению, старик соврал — это была машинальная раскольничья ложь, ложь по привычке никогда не говорить правды. Костюм загорского миллионера состоял из одной ветхой ситцевой рубахи, прихваченной узеньким ремешком, и таковых же синих

портов, — дома из экономии старик ходил босой. Маленькое сморщенное лицо глядело необыкновенно пристальными серыми глазками и постоянно улыбалось; песочного цвета редкие волосы на голове, подстриженные раскольничьей скобой, и такого же цвета редкая бородка клинышком совсем еще не были тронуты сединой, хотя Ожигов и был на целых десять лет старше свата Тараса Ермилыча. Крепкий был человек, хотя и выглядел сморчком.

— Добро пожаловать, Савельюшко, — пригласил старик. — Заходи в горницу-то... Гость будешь, хоть и ночью пришел.

Савелий вошел в горницу и, прежде чем поздороваться с хозяином, положил перед образом в переднем углу входный начал, а уже потом проговорил своим певучим голосом:

— Здравствуйте, Мирон Никитич... Поликарп Тарасыч наказал кланяться.

— Ну, садись, Савельюшко, — проговорил старик из фальшивой любезности. — В ногах правды нет...

— Ничего, и постоять можем, Мирон Никитич... Не по чину нам рассаживаться-то.

— Так, так... Правильные твои слова, Савельюшко. Што же, и постой... Твое дело молодое, а честь завсегда лучше бесчестья.

Низенькая, давно штукатуренная комната, с маленькими оконцами, голыми стенами и некрашеным, покосившимся полом, всего меньше могла навести на мысль о миллионах. Меблировка состояла из жесткого диванчика у внутренней стены, старинного комода в углу, нескольких стульев и простого стола. Два сундука, окованных железом, дорожка домашней работы на полу и стеклянный шкафик с посудой дополняли обстановку. Приотворенная дверь вела в следующую комнату, убранную еще беднее — там стояла одна двуспальная кровать, и только. Старик жил в этих двух комнатах один-одинешенек, а другие горницы пустовали. Когда-то в доме жила большая семья, но старуха жена умерла, сыновья переженились и жили в отделе, дочери повыходили замуж, и дом замер постепенно, как замирает человек в прогрессивном параличе, когда постепенно отнимаются ноги, руки, язык и сердце. Последним живым человеком из ожиговского дома ушла Авдотья Миро-

новна, воспитанная по-монашески, и старик остался в своем доме, как последний гнилой зуб во рту.

Заложив руки за спину, Савелий несколько времени переминался с ноги на ногу, не зная, с чего ловчее начать. Ожигов сел на стул, уперся по-старчески руками о колени и, склонив голову немного набок, приготовился слушать. Когда Савелий начал свой рассказ, старик сосал бескровные сухие губы и в такт рассказа покачивал головой.

— Так, так, Савельюшко... — проговорил он, когда подручный кончал свою тяжелую исповедь. — А сколько денег нужно дорогому зятюшке?

— Без десяти тысяч не велел и на глаза показываться...

Старик вскочил, посмотрел на Савелия, как на сумасшедшего, и громко расхохотался.

— Десять тысяч?.. Да я сроду и не видывал таких денег. Нашли тоже у кого просить денег: у бедного старика. Пусть Поликарп Тарасыч просит у отца, ежели уж такая нужда приспичила, у свата шальных денег много.

— Вы знаете, какой карахтер у Тараса Ер-

милыча? — объяснял Савелий, не меняя позы. — Они могут даже и совсем изуродовать человека, ежели в азарт придут...

— А мне какое до этого дело? Куда деньги Поликарпу Тарасычу да еще в ночное время? Деньги, как курицы, на свету засыпают... Да. Так и скажи своему Поликарпу Тарасычу... Знаю я, куда ему деньга нужны. Все знаю...

— Он заплатит, Мирон Никитич, только вот сейчас зарез...

— Чужие слова говоришь, миленький... У вас там дым коромыслом идет, а я буду деньги платить?.. Знаю, все знаю... И Тарасу Ермилычу тоже скажи, чтобы перестал дурить. Наслушили всю округу... Очень уж расширился Тарас-то Ермилыч. Так ему и скажи, а теперь ступай с богом: за Поликарпа Тарасыча я не плательщик...

Отвесив глубокий поклон, Савелий направился к двери, но старик остановил его.

— Мишку-то генеральского видел? — спросил он. — Был он как-то у меня, горюн... Плохое его дело, да и нам от этого не легче, Савельюшко. Приступу теперь не стало к генералу... Сердитует он на Тараса-то Ермилыча?

Сам виноват сватушко: карахтер свой уж очень уважает. Ну, прощай...

От самых дверей Савелий еще два раза вернулся — это была уж такая привычка у Мирона Никитича.

— Караван-то, Савельюшко, уплыл от нас... — говорил он. — Мишкино дело, что он Сосунову достался. Не к рукам, Савельюшко, а дельце тепленькое... Голенькие денежки на караване-то.

Самое главное старик всегда приберегал к концу. Савелий знал эту повадку и не удивился, когда Мирон Никитич догнал его с фонарем уже на лестнице.

— Савельюшко, што у вас мутит всем этот барин вот, ну, как его там звать-то?

— Ардальон Павлыч Смагин...

— Вот он самый... Слышал я о нем достаточно. Напрасно ему вверился Тарас Ермилыч да еще в дом к себе взял: чужой человек хуже ворога. И Поликарпа-то Тарасыча окружил этот Смагин... Все знаю, миленький. Так и Поликарпу Тарасычу скажи: наказывал, мол, тебе богоданный твой батюшка... Скажешь?

— Скажу, Мирон Никитич.

— А денег у меня таких нет, да и в заводе не бывало, Савельюшко. Только всего и осталось, штобы похоронить чем было... Смертное для себя берегу.

Когда Савелий вернулся в злобинский дом, Поликарп Тарасыч встретил его с веселым лицом и даже пошутил:

— Небось с одной молитвой воротился от тестюшки?

— Отказали, Мирон Никитич...

— Ну, и плевать мне... На всех плевать!

Такой неожиданный оборот дела немало удивил Савелья. Смагин тоже улыбался и только усы покручивал. Ну, что же, устроились между собой — и любезное дело. Меньше хлопот!

Когда Савелий отправился к себе в каморку, его догнал молодец и объявил, что генеральский Мишка дожидает в кухне уже два часа и уходить не хочет.

«Верно, за своими деньгами приволокся? — подумал Савелий. — Тоже и нашел время...»

Он послал за Мишкой, чтобы шел к нему

в комнату. Мишка явился, поздоровался, присел к столу и осторожно огляделся.

— С секретом пришел? — спросил Савелий, недовольный этим несвоевременным визитом.

— Есть и секрет, Савелий Гаврилыч, — шепотом объяснил Мишка, продолжая оглядываться. — Такой секрет, такой секрет... Стою я даве у себя в передней, а Мотька бежит мимо. Ну, пробежала халда-халдой да бумажку и обронила. Поднял я ее и припрятал... А на бумажке написано, только прочитать не умею, потому как безграмотный человек. Улучил я минутку и сейчас, например, к Сосунову, а Сосунов и прочитал: от генеральши от моей записка к вашему Ардальону Павлычу насчет любовного дела. Вот какая причина, милый ты человек!

— А с тобой бумажка?

Мишка достал из-за пазухи скомканный листочек почтовой розовой бумажки и передал Савелью.

— «Ми-лый, при-хо-ди вечером... Све-ча пок-кажет... — разбирал Савелий вслух. — Пе-ту-ха не... не будет». И все тут? Ну, это, брат,

ничего еще не значит: неизвестно, к кому, и неизвестно, от кого.

— Говорят тебе: от генеральши!..

— Да ведь не подписано письмо-то?..

— Ах, какой ты непонятный!.. Уж говорю, что от самой генеральши. Я уж давно примечаю за ней, что дело неладно. Зачастил к нам Ардальон-то Павлыч и все норовит так, когда генерала дома нет. А откуда ему знать это самое дело, ежели сама генеральша, например, не подражает Ардальону Павлычу? Весьма это заметно, Савелий Гаврилыч, когда человек немного в разуме своем помутился... Ловка генеральша, нечего сказать, а оно все-таки заметно. Да...

— Ну, заметно, а нам-то с тобой какое горе от этого сталось?

— Эх ты, малиновая голова! Да ежели бы, например, уследить генеральшу да подвести генерала: обоим крышка — и моей генеральше и твоему Ардальону Павлычу. Понял?

— А ведь ты правильно, Михайло Потапыч... Мне-то по первоначалу и невдомек, куда ты речь ведешь, а теперь я расчухал. Уж чего бы отличнее, когда этакого медведя на-

травить на них...

— Он бы их распатронил, генерал, значит... Только и генеральша увертлива... Все бабы на это ловки: у них, как у мышей — вход в нору один, а выходов десять. Ну, генеральша чистенько дело ведет, — комар носу не подточит...

— Как же мы ее добывать будем, Михайло Потапыч?

Прежде чем ответить, Мишка еще раз огляделся и даже сходил и попробовал, плотно ли приперта дверь.

— Вот што, Савелий Гаврилыч, — начал он с особенной торжественностью, — долго я думал об этом. День и ночь думал, ну, и придумал... Залобуем и генеральшу и Смагина: как пить дадим. Только все это уж, как ты захочешь: все от тебя...

— От меня? Из спины ремень вырезай хоть сейчас, только бы Ардальона Павлыча сплавить... Солон мне он пришелся. Тарас Ермилыч и глядеть на меня не хочет...

— И без ремня дело обойдется, ежели с умом. Ты только слушай, Савелий Гаврилыч...

Мишка еще раз оглянулся и продолжал

уже шепотом:

— Изловить мне генеральшу самому невозможно... Она вверху, а я туда доступа не имею. Все, значит, дело в этой самой Мотьке... Может, помнишь: увертливая такая девка.

— Помню... ну?

— Не понимаешь?

— Ровно ничего не понимаю, хоть убей.

— Ты еще тогда с ней как-то игру заигрывал, а она тебя обругала. Да... А потом пытала меня: женатый ты человек или нет? Известно, баба, все им надо знать. А я заприметил, што она и сама на тебя глаза таращит: когда ты придешь — она уж бесом по лестнице вертится. Вот ежели бы ты эту самую Мотьку приспособил, а потом бы через нее все и вызнал, а потом того, мы бы и накрыли генеральшу...

— Как будто зазорно, Михайло Потапыч... В переделах бывал, а такими делами не случалось заниматься.

— Да тебя-то убудет, што ли?

— Говорю: претит... Конешно, Мотька — ухо девка, и побаловаться даже любопытно, только все-таки зазорно.

— Ну, как знаешь, Савелий Гаврилыч... Мое дело сказать, а там уж сам догадаешься. А Мотька все знает и все тебе обскажет, ежели ты ее в оглобли заведешь... Бабы на это просты.

Как ни уговаривал Мишка, но Савелий уперся и ни за что не соглашался на его план. На этом и разошлись...

VIII

Может быть, коварство верного раба Мишки так и осталось бы в области предположений, но ему помог сам Ардальон Павлыч. Барин зазнался и при посторонних посмеялся над Савелием, рассказал все тот же несчастный анекдот о свечке с продолжением. Подручный побелел от бешенства, когда все хохотали, и сказал про себя только одну фразу:

— Погоди, собака, утру я тебе нос...

Савелий в тот же день отправился в генеральский дом и отдал себя в полное распоряжение верного раба Мишки.

— Так-то лучше будет, милаш, — похвалил Мишка, — твоя-то невелика работа, а каково мне потом достанется... А дельце наше верное: все знаки есть. Устигнем генеральшу, Са-

вельюшко...

На этот разговор Мотька, конечно, не преминула выбежать. Свесившись, по обыкновению, через перила, она крикнула сверху:

— Тише вы, черти!.. Еще генеральшу разбудите.

— Што больно строга? — ответил снизу Савелий.

— Вся тут: уж какая есть.

— Не пугай, Мотя... Еще ночью померещится, в добрый час молвить.

— Тьфу! кержак немаканый...

Этой коротенькой сценой началась правильная осада засевшего наверху неприятеля. Через Мишку Савелий узнал весь порядок генеральского дня, а главным образом, когда Мотька бывает свободной. Таких минут, когда Мотька могла «удосужиться», было, правда, немного, и их приходилось ловить. Верный раб Мишка в эти редкие минуты с ловкостью заговорщика умел куда-нибудь скрыться, а Мотька сверху спускалась в нижнюю переднюю, чтобы позубоскалить с красивым кержаком. Дело пошло быстро вперед, так что, если Савелий не показывался дня два,

Мотька начинала сама приставать к Мишке с расспросами.

— Отвяжись, худая жисть! — притворно ругался Мишка. — Я вот ужо доложу генеральше, так будет тебе от нее два неполных. Не девичье это дело на чужих мужиков глаза пялить. Надо и стыд знать...

— Ах ты, татарская харя!.. Я вот тебе «доложу»... Забыл генеральскую-то нагайку?

Мотька хоть и ругалась с Мишкой, но это было только одной формой и делалось для видимости. В сущности Мотька сразу отмякла и больше не подводила Мишку под генеральскую грозу, а даже предупреждала, когда генеральша «в нервах». Мишка вел свою политику и не показывал вида, что замечает что-нибудь Савелий настолько увлекся начатой игрой, что уже начал стесняться Мишки и больше отмалчивался, когда тот что-нибудь расспрашивал.

— Ты ее из дому-то вымани поскорее, — учил Мишка. — А там уж вся твоя будет... Известно, дура баба!.. Сразу отмякла... Как ты придешь, так у ней уж весь дух подпирает.

— Не совсем ладное мы затеяли, Михайло

Потапыч... — вздыхал Савелий, крутя головой. — Тоже и на нас крест есть.

— Разговаривай... Эх ты, Савелий! Баба ты, вот што я тебе скажу... Уйдет, видно, от нас Ардальон Павлыч!..

Пока Савелий не делал попытки окончательно овладеть Мотькой, ограничиваясь лясами в передней и обменом довольно увесистых любезностей — то Мотька огреет его всей пятерней, то он. Мотьку смажет во всю спину, так что у ней дух займется. Она сама сильно сторожилась раскольника-подручного, потому что была православной.

Развязку подвинуло известие, принесенное Савелием в генеральский дом: Смагин выиграл в карты у Поликарпа Тарасыча железный караван, стоявший в Лаишеве.

— Как караван? — изумился Мишка.

— А так... Поликарп-то Тарасыч гонял-гонял меня за деньгами: у всех забрали, где только могли. Ну, а ему все мало... Принесешь утром, а вечером они в кармане у Ардальона Павлыча. Под конец того дело пришло к тому, што и занимать не у кого стало. Толкнулся я к Мирону Никитичу...

— Крышка?

— Обыкновенно... Прихожу я к Поликарпу Тарасычу не солоно хлебавши, а он веселый такой, и Ардальон Павлыч тоже, — значит, сладились промежду себя. Ну, думаю, и отлично, коли сладились, а наше дело маленькое, подневольное. Я так про себя положил, што али тятенька Тарас Ермилыч расступился, али Ардальон Павлыч на бумажке записал Поликарпа-то Тарасыча... Все единственно для нас. Хорошо... Только Ардальон Павлыч все играет, а Поликарп Тарасыч все проигрывает, и счет у них идет на тысячи. Начал я разузнавать, как и што, и вызнал. Когда Поликарп-то Тарасыч женился на Авдотье Мироновне, так Тарас Ермилыч железные-то заводы на его имя переписал, штобы свой форц оказать перед Мироном Никитичем. Ну, ежели заводы Поликарпа Тарасыча, значит и железо его... Он и бахнул весь караван Ардальону Павлычу, а в караване, легкое место сказать, четыреста тысяч пудов железа. Это как, по-твоему? Тарас-то Ермилыч покедова сном дела ничего не знает...

Верный раб Мишка был совершенно оше-

ломлен этим известием, точно Савелий ударил его по голове обухом.

— Невозможно... — проговорил он после некоторого размышления. — Тарас-то Ермилыч, как дохлую кошку, разорвет Поликарпа, когда узнает все...

— И разорвет, а Поликарпу все равно не сносить головы.

— Ах, какое дело, какое дело! — бормотал Мишка, качая головой. — Вот не было печали, так черти накачали... Да верно ли ты вызнал-то, Савельюшко?

— Да уж вернее смерти... Дока на все Ардальон Павлыч и правильный документ с Поликарпа взял.

Это сочувствие и горестное изумление Мишки Савелий объяснил страхом за выданные Поликарпу Тарасычу деньги и постарался его успокоить: единственный наследник Поликарп Тарасыч и не будет рук марать о такие пустяки, когда целого каравана не пожалел. В случае чего и Тарас Ермилыч заплатит, чтобы не пущать сраму на свой дом.

— Да не об этом я, Савельюшко, — упавшим голосом перебил его Мишка. — Совсем

не об этом... Оставит нас Ардальон Павлыч с носом на другой статье: живой из рук уйдет, как живые налимы из пирога в печи вылезают!

— Это в каких смыслах?

— А в таких!.. Раскинь-ка умом-то, што теперь осталось выигрывать с Поликарпа, — жена да рубаха, только и всего материалу. Ну, Ардальон Павлыч обязательно задаст стрекача, а мы при генеральше своей и останемся.

— А ведь это точно, Михайло Потапыч, — удивлялся Савелий собственной недогадливости, — ловить его надо, пса...

— Я тебе говорю... А ты валандаешься с Мотькой задарма и только бобы разводишь. Говорю: уйдет Ардальон Павлыч, коли мы его не накроем. Ждать, што ли, когда Тарас Ермилыч все узнает? Будет, насосался...

Чтобы поскорее «сострунить» Мотьку, заговорщики придумали устроить притворную ссору и этим устранить возможность свиданий в генеральском доме. Прежде всего верный раб Мишка накинулся на Мотьку:

— Эй ты, чужая ужна, што больно перья-то распустила?.. Мне житья не стало от твоих-то

хахалей!.. Штобы и духу ихнего не было, а то прямо пойду к генералу и паду в ноги: «Расскажите, ваше высокопревосходительство, а подобных безобразиев в вашем собственном доме не могу допустить». Слышала?

— Миша, голубчик, да в уме ли ты? — уговаривала напугавшаяся Мотька. — Да с чего ты разъершился-то?

— А ты у меня поговори еще!.. Я тебе покажу феферу...

Как Мотька ни упрашивала, Мишка остался непреклонен, точно бес на нем поехал. В первый же раз, как только пришел Савелий, верный раб Мишка привязался к нему.

— Да ты што это повадился к нам, немаканое рыло?

— Михайло Потапыч, да вы только выслушайте...

— Было бы кого слушать?.. Мораль по всему городу пущаешь... Подумал бы, куда с рылом-то своим лезешь?.. а?..

— А вы не очень, Михайло Потапыч... Мы и сами сдачи сдадим, коли к нам в дом придете.

— Мне? сдачи?.. Да я...

Дальше расстервенившийся верный раб схватил Савелия и вытолкал его на улицу. Мотька слышала всю эту сцену, спрятавшись наверху лестницы, и горько плакала. А Савелий поднял с земли упавший картуз, погрозил Мишке в окно кулаком и отправился к себе домой, — только его Мотька и видела.

Вечером этого же дня Мишка сидел в каморке Савелия и весело бахвалился.

— Што, ловко я тебя саданул, Савельюшко?

— Ничего-таки... Знакомому черту тебя подарить, так, пожалуй, и назад отдаст.

— А Мотька-то ревела-ревела... И глаза у ней опухли. Только бы нам ее из дому выманить... Так я говорю? Ты этак вечерком около дома-то по тротувару разика два пройдись, а Мотька уж сама вывернется за ворота. Смотри, улетит наш Ардальон Павлыч.

Затеянная комедия была разыграна до конца, как по нотам. Савелий не показывался в генеральский дом целую неделю, а потом послал Мишке верного человека, чтобы поскорее завернул в злобинский дом. Когда Мишка пришел, Савелий даже не взглянул на него, как виноватый, а только проговорил:

— Через три дни генерал поедет по заводам и тебя возьмет с собой, а генеральша поставит на окно в гостиной свечку... Это у них знак такой. С террасы есть ход в сад, вот по этому ходу Ардальон Павлыч и похаживает к генеральше, когда генерала дома нет.

— Н-но-о?.. А ведь и точно, Савельюшко: есть такой ход. Верное твое слово...

— У них уж давно такие ненадобные дела, а генеральша нисколько не боится. Ардальон Павлыч сказал Мотьке, што убьет ее, ежели язык развяжет...

— Дела! В лучшем виде, Савельюшко...

— Мое дело сделано, а теперь уж ты приструнивай генеральшу, как знаешь.

— Ох, уж и не говори лучше: пришел мой смертный час!.. — вздохнул Мишка. — Разразит меня генерал по первому слову, уж это я вполне чувствую.

Савелий глухо молчал и все отвертывался от Мишки: его заедала мысль, из-за чего он сделался предателем. Совестно было своего же сообщника, а уж про других людей и говорить нечего... И Мишку сейчас Савелий ненавидел, как змея-искусителя. Но когда Мишка

стал прощаться с ним, точно собрался умирать, Савелий поотмяк.

— Ничего, Михайло Потапыч, не сумлевайся очень-то: бог не без милости, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мороком...

— Не знаю, останусь жив, не знаю — нет... — уныло повторял Мишка. — На медведя, кажется, легче бы идти. Ну, чего господь пошлет... Прощай, Савельюшко, не поминай лихом!

Прежде чем объявиться генералу, Мишка отправился в церковь и отслужил молебен Ивану-Воину и все время молился на коленях.

Выждав время, когда генеральша уехала из дому куда-то в гости, а Мотька улизнула к Савелию, Мишка смело заявился прямо в кабинет к генералу. Эта смелость удивила генерала. Он сидел на диване в персидском халате и с трубкой в руках читал «Сын отечества». Мишка только покосился на длинный черешневый чубук, но возвращаться было уже поздно.

— Чего тебе? — сурово спросил генерал, на мгновение исчезая в облаке табачного дыма.

Мишка перекрестился и бухнул прямо в

ноги генералу.

— Ну? — коротко спросил генерал, сурово глядя на валявшегося в прахе верного раба.

Путаясь и перебивая свои собственные слова. Мишка начал свой донос, но генерал побледнел при первом же упоминовении полненькой генеральши.

— Что-о?! — грянул он, и черешневый чубук засвистел в воздухе. — Да как ты смеешь, рракалллия?! Меррзавец...

Бой на этот раз был непродолжителен: и чубук сломался, и генерал задохся от волнения. Верный раб Мишка ползал у его ног и повторял одно:

— Икону сниму, ваше превосходительство... с места мне не сойти, ежели я хоть единым словом совру... Не таковское дело, штобы облыжные слова говорить. Завсегда как свеча горел перед вашим превосходительством...

Генерал был страшен. Недавняя бледность на лице сменилась багровыми пятнами, руки судорожно сжимались, глаза смотрели на Мишку с таким выражением, точно генерал хотел его проглотить. Переведя дух, он схватил Мишку за горло и прошептал:

— Ну, говори, Иуда... говори, змей... задушу своими руками, если соврешь хоть одно слово!

Стоя на коленях, Мишка рассказал по порядку все, что разведал о генеральше и о назначенном ближайшем свидании. Генерал слушал его с закрытыми глазами и только вздрагивал, когда в рассказе Мишки упоминалось имя полненькой генеральши. А если предатель Мишка говорит правду? Если... Когда Мишка кончил, генерал, не открывая глаз, махнул ему только рукой, чтобы убирался. Избитый и окровавленный верный раб, прихрамывая, вышел из кабинета и в душе поблагодарил бога, что так дешево отделался: первая и самая трудная половина дела была сделана, а там уж что бог даст. На его счастье, никто в доме не слыхал о происходившем в кабинете избиении, и у генеральши не могло явиться ни малейшей тени подозрения, когда она вернулась домой. Генерал сказался больным и на ключ заперся у себя в кабинете. Это случилось еще в первый раз, что старик был болен — он никогда не хворал, как настоящий николаевский генерал, закаленный на

военной службе. Впрочем, генеральша не особенно встревожилась: мало ли старики хворают, да и ей было до себя.

Вечером генерал позвал к себе в кабинет Мишку и, не глядя на него, как подручный Савелий, проговорил:

— Через три дня я еду с тобой на заводы... понимаешь? Будь готов... Да скажи, чтобы на дворе к нашему отъезду была приготовлена фельдъегерская тройка. Это на всякий случай...

Эти роковые три дня верный раб Мишка оставался ни жив ни мертв, как приговоренный к казни. О настроении генеральши он мог догадываться только по Мотьке, которая вихрем летала через его переднюю. Генерал должен был выехать днем позже, и эта неаккуратность бесила генеральшу.

— Ты как будто не совсем здорова?.. — заметил ей генерал за обедом в день отъезда.

— Нет, ничего, папочка.

— Я могу и не ездить, если тебе нездоровится?

— Нет, зачем же, папочка... Я не желаю, чтобы ты из-за меня упускал свою службу.

Сомнений больше не могло быть...

Генерал выехал нарочно под вечер, когда спускались мягкие летние сумерки. Генеральша провожала его с особенной нежностью до самого подъезда. Мишка сидел на козлах, как преступник на эшафоте. Наступал решительный час, от которого зависело все.

— Тройка готова? — спросил генерал, когда они выезжали из ворот.

— Точно так-с, ваше превосходительство...

К удивлению Мишки, генерал был совершенно спокоен и молча покуривал свою сигару. Генеральская пятерка во весь карьер вылетела из города и понеслась по тракту к злобинским заводам, но на десятой версте генерал велел остановиться, повернуть назад и ехать в город. У заставы он вышел из экипажа, молча сделал Мишке знак следовать за собой и солдатским мерным шагом пошел по улице. Ночь была темная, так что высокая фигура генерала не обращала на себя особенного внимания. Верный раб Мишка плелся за ним, как грешная душа. Так они дошли до кафедрального собора, повернули на плотину и пошли по набережной к генеральскому дому.

Мишка первый заметил одиноко горевшую на окне гостиной сигнальную свечку и молча указал на нее генералу.

— Хорошо, подлец, — ответил старик. — Ты карауль у сада, а я пойду к подъезду.

Мишка притаился у садовой калитки, а генерал зашагал к воротам, в которых и скрылся, незамеченный даже зазевавшимся часовым. Наступила минута рокового затишья. Мишка приготовился схватить врага за горло и жадно вслушивался в немую тишину ночи, нарушаемую только мерными шагами часового. Но вот в верхнем этаже мелькнул тревожный свет, где-то быстро распахнулась дверь, и Мишка не успел мигнуть, как кто-то с балкона второго этажа бросился на улицу, перевернулся в пыли и одним прыжком перелетел через железную решетку набережной в воду.

— Держи, держи! — крикнул Мишка, но уже было поздно — по пруду быстро плыла черная точка.

Что происходило в генеральском доме — осталось неизвестным. Но через полчаса к подъезду подъехала фельдъегерская тройка,

генерал сам усадил в экипаж свою полненькую генеральшу вместе с Мотькой и махнул рукой.

Генеральша навсегда исчезла из Загорья, как тень.

IX

Прошло ровно двадцать лет... Много воды за это время успело утечь, а действие нашего рассказа переносится с Урала за тысячи верст, на берега одетой в гранит Невы.

Был солнечный осенний день, один из тех дней, когда солнце точно старается согреть землю по-летнему и не может. Эта бессильная старческая ласка кладет на все печать усталости и какой-то специально осенней, тихой грусти. И небо какое-то грустное, точно и там, вверху, незримо отлетела животворящая сила, а в мглистом осеннем воздухе носится невидимая глазом паутина. Общее впечатление от такого дня похоже на то, что как будто где-то умер дорогой человек, но вы еще сомневаетесь в его смерти, и в душе чувствуется смутный протест против этого уничтожения. Хочется верить, что он жив, вот именно этот самый дорогой человек, а сердце не мо-

жет мириться с самым словом: смерть. Но есть и своя поэзия в таких осенних днях — убывающая жизнерадостная энергия наводит на мысль о покое, о том мире, который при всяком освещении остается равен самому себе и который неизмеримо больше озаряемого видимым солнцем. Это умиротворяющая философия, которая залечивает самые глубокие раны и успокаивает самые беспокойные сердца.

Итак, был солнечный осенний день. По тротуару одной из дальних линий Васильевского острова медленно шел сгорбленный, но все еще высокий старик, тяжело опиравшийся на камышовую палку. Одет он был в военное генеральское пальто. Отставной генерал подвигался вперед медленно, не обращая ни на кого внимания: он делал свою обычную предобеденную прогулку. Потухшие серые глаза смотрели кругом совершенно безучастно и не замечали встречавшихся лиц. Да и что их было замечать, когда все это были незнакомые, чужие лица, которым тоже решительно не было никакого дела до отставного желтого николаевского генерала. Это был,

как читатель догадывается, знаменитый генерал Голубко, гроза и трепет целого горного мира. Поровнявшись с Средним проспектом, старик повернул в аллею налево и направился к знакомой зеленой скамеечке, на которой отдыхал во время своих прогулок каждый день. На этой скамеечке его уже поджидал другой старик, тоже высокий и рослый, с окладистой седой бородой и широким, умным русским лицом.

— Вашему превосходительству... — проговорил сидевший на скамейке старик, снимая заношенный бархатный картуз.

— Здравствуй... Как поживаешь, Тарас Ермилыч?

Злобин — это был он — только горько усмехнулся и показал глазами на свою левую ногу, разбитую параличом. Прогремевший на всю Сибирь миллионер обыкновенно каждый день в это время поджидал на заветной скамеечке грозного генерала, чтобы вспомнить вместе далекую старину и посоветоваться о настоящем. Так было и сейчас. Когда генерал уселся на скамье, Злобин сейчас же заговорил с оживлением:

— А мое дельце, ваше превосходительство, опять поступило в сенат. Так на возу и привезли, потому как весом оно одиннадцать пудов. Накопилось достаточно писаной-то бумаги за восемнадцать годков. Да...

— Нынче плохо разбирают дела, Тарас Ермилыч, — уныло ответил генерал, — ежели бы оно поступило ко мне, так я бы его в три дня кончил... Забыли меня там, не нужен стал. Молодые умнее хотят быть нас, стариков... Ну, да это еще посмотрим!

С старческим эгоизмом собеседники думали и говорили только о своих личных делах и относились друг к другу скептически: генерал не верил ни на грош в знаменитое одиннадцатипудовое злобинское дело, а Злобин не верил, что грозного генерала вспомнят и призовут. При встречах каждый говорил только о себе, не слушая собеседника, как несбыточного мечтателя.

— Мне бы только воротить енисейские золотые промыслы, — заговорил Злобин, продолжая мысль, начатую еще дома. — А остальному всему попустился бы, ваше превосходительство.

— Если бы я обкрадывал казну, брал взятки, как другие... — отвечал генерал, продолжая свою собственную мысль, начатую еще третьего дня. — О, тогда другое бы дело!.. За мной бы все ухаживали, как тогда... Знаешь, что я скажу тебе, Тарас Ермилыч: дурак я был! Все кругом меня брали жареным и вареным, а я верил в их честность. Зато они живут припеваючи на воровские деньги, а я с одной своей пенсией... Дурак, дурак, и еще раз дурак!..

— А какие деньги прошли через мои руки тогда, ваше превосходительство? В десять лет я добыл в Сибири больше двух тысяч пудов золота, а это, говорят, двадцать пять миллионов рубликов чистеньких. И куда, подумаешь, все девалось? Ежели бы десятую часть оставить на старость... Ну, да бог милостив: вот только дело в сенате кончится, сейчас же махну в енисейскую тайгу и покажу нынешним золотопромышленникам, как надо золото добывать. Тарас Злобин еще постоит за себя...

— Есть у меня один хороший человек в горном департаменте, — я его и определил туда, когда сам был в силе. Завернул он ко мне

вечерком и говорит: «Андреи Ильич, еще ваше время не ушло... Придут и сами поклонятся». А я говорю ему: «Пожалуй, уж я стар... Не стало прежней силы!» — «Что вы, говорит, Андрей Ильич, да вы еще за двоих молодых ответите, а главное — рука у вас твердая!» Хе-хе... Ведь твердая у меня рука, Тарас Ермилыч?.. Куда им, нынешним фендрикам... Распустили всё, сами себе яму копают.

— Главная причина та, ваше превосходительство, что сибиряки меня судами доехали... Легкое место сказать, судиться восемнадцать лет! Все просудил, что было нажито, а остальное растащили да сынок промотал... Сперва-то, как сибиряки на меня поднялись, я, точно медведь, который в капкан лапой попал, зарычал на всех. На силу на свою понадеялся, а надо было потихоньку, да лаской, да приунищиться, да с заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке. Дурак я был, ваше превосходительство, потому что их много, а я один. Так и медведя в лесу маленькими собачками травят... А какие я убытки брал по своей гордости? Бить меня тогда некому было, пряменько сказать...

Старики постепенно разгорячались от этих обидных старческих воспоминаний, размахивали руками и совсем уже не слушали друг друга.

— А этот подлец Мишка, который у меня в передней стоял столько лет и оказался первым вором?.. — кричал генерал, размахивая палкой. — Ведь я верил ему, Иуде, а он у меня под носом воровал... Да если бы я только знал, я бы кожу с него снял с живого! По зеленой улице бы провел да плетежками, плетежками... Не воруй, подлец! Не воруй, мерзавец... Да и другим закажи, шельмец!.. А ловкий тогда у меня в Загорье палач Афонька был: так бы расписал, что и другу-недругу Мишка заказал бы не воровать. Афонька ловко орудовал...

Генерал даже поднялся с лавки и принялся размахивать палкой, показывая, как палач Афонька должен был вразумлять плетью грешную плоть верного раба Мишки. Прохожие останавливались и смотрели на старика, принимая его за сумасшедшего, а Злобин в такт генеральской палки качал головой и смеялся старчески-детским смехом. В самый

оживленный момент генерал остановился с поднятой вверх палкой, так его поразила мелькнувшая молнией мысль.

— Тарас Ермилыч, а что было бы, если бы я этого подлеца Мишку прогнал тогда? — спрашивал генерал. — Ведь он главный-то вор был?

— То и было бы, что на его место поступил бы другой такой же Мишка...

— Нет, ты это уж врешь... Разве у меня глаз не было?.. Да я... да как ты смеешь мне так говорить?.. С кем ты разговариваешь-то?

— Ваше превосходительство, успокойтесь... — уговаривал Злобин, как ребенка, расходившегося генерала. — Сдуру я сболтнул... А всего лучше, мы самого Мишку допросим. Ей-богу... Тут рукой до него подать.

Старческая беседа уже не в первый раз заканчивалась таким решением: допросить верного раба Мишку. Они пошли по Среднему проспекту, свернули направо, потом налево и остановились перед трехэтажным каменным домиком, только что окрашенным в дикий серый цвет. Злобин шел с трудом, потому что разбитая параличом нога плохо его слуша-

лась, и генерал в критических местах поддерживал его за руку.

— Вот, полюбуйся!.. — иронически заметил генерал, тыкая палкой на прибитую над воротами домовую вывеску. — У него, подлеца, и фамилия оказалась.

Вывеска была довольно оригинальная: «Собственный дом 3-й гильдии купца Михайлы Потапыча Ручкина», и генерал каждый раз прочитывал вслух, точно желал еще сильнее проникнуться презрением к вору Мишке. Дворник, заметивший издали гостей, побежал на всякий случай предупредить хозяина, и Михайло Потапыч Ручкин встретил их собственной особой на дворе собственного дома. Он был в «спинджаке», в сапогах бутылкой и в ситцевой рубашке, а по глухому жилету распущена была толстая серебряная цепочка — настоящий купец третьей гильдии, точно на заказ сделан. На вид он почти совсем не постарел, а только разбух, и ноги сделались точно короче.

— Пожалуйте, дорогие гости... Ваше превосходительство, Тарас Ермилыч, родимые мои! Вот уважили-то...

— Погоди, вот я тебя уважу, Иуду! — погрозил ему генерал палкой.

Ручкин жил в самой плохой квартире, на дворе; окна выходили прямо к помойной яме. Недосягаемая мечта верного раба Мишки иметь свой собственный дом осуществилась, и Михайло Потапыч Ручкин изнемогал теперь от домовладельческих расчетов, занимая самую скверную квартиру в этом собственном доме. Он ютился всего в двух комнатках, загроможденных по случаю накупленной мебелью.

Когда старики вошли в квартиру, там оказался уже гость, сидевший у стола. Он так глубоко задумался, что не слыхал ничего. Это был сгорбленный, худой, изможденный старик с маленькой головкой. Ветхая шинелишка облекала его какими-то мертвыми складками, как садится платье на покойника. Ручкин взял его за руку и увел в полутемную соседнюю каморку, где у него стояли заветные сундуки.

— Это еще что у тебя за птица? — грозно спросил генерал.

— А так, несчастный человек, ваше превос-

ходительство, — уклончиво ответил Ручкин и потом уже прибавил шепотом: — Караванного Сосунова помните, ваше превосходительство? Он самый... В большом несчастии находится и скрывается от кредиторов: где день, где ночь. По старой памяти вот ко мне иногда завернет... Боится, что в яме его заморят кредиторы.

— Вор!.. — грянул генерал. — Такой же вор, как и ты, Мишка... Нет, ты хуже всех, потому что все другие с опаской воровали, а ты у меня под носам. Как ты тогда кожу с меня не содрал?

— Сосунов, говоришь? — вслух соображал Злобин. — Как же это так: ведь он в больших капиталах состоял. Десять лет караван-то грабил.

— Нашлись добрые люди и на Сосунова, Тарас Ермилыч: до ниточки раздели... Голенький он теперь, в чем мать родила. И даже очень просто...

Хозяин усадил гостей на диван и суетливо бегал из комнаты в комнату, вытаскивая разное барское угощение — початую бутылку елисеевской мадеры, кусок сыра, коробку сар-

дин и т. д.

— Перестань бегать-то, Мишка, — уговаривал его генерал. — Нам не твое угощение нужно, а тебя... По делу пришли.

— Сею минуту, ваше превосходительство... Истинно сказать, што с праздником меня сделали... Не знаю, чем вас и принимать.

Когда Ручкин успокоился, наконец, старики принялись его допрашивать.

— Заспорили мы, Мишка, что бы было, если бы тогда генерал тебя в шею, — объяснял Злобин.

— То есть когда же это, Тарас Ермилыч?

— А когда, значит, они на генеральше женились...

Ручкин весело взглянул на своих гостей и только засмеялся.

— Я так полагаю, что без меня вашему превосходительству никак бы невозможно было управиться, — смело ответил Ручкин. — Брать я, точно, брал, но зато другим никому не давал брать... У меня насчет этого было строго: всем крышка. А без меня-то что бы такое было? Подумать страшно...

— Ах ты, каналья!.. — засмеялся генерал и

сейчас же нахмурился, припомнив эпизод с полненькой генеральшей.

— Ведь я как брал, ваше превосходительство: видеть не мог живого человека, чтобы не оборвать его. Жадность во мне страшная объявилась... Беру, и все мне мало, все мало. Прямо сказать: прорва, ненасытная утроба. А что было, когда я генеральшу утихомирил?.. Все ко мне бросались, все понесли, а я еще больше ожаднел, потому наверстать было надо время-то... Вы-то тогда окончательно мне доверились, ваше превосходительство, ну, я и рвал, в том роде, как истощенный волк. Не потаю, потому дело прошлое: прямо веревку мне тогда на шею следовало да камень, да в воду...

— Ах, подлец!.. Плетежками бы тебя, шельмеца... Помнишь палача Афоньку?

— Как не помнить, ваше превосходительство. Это вы правильно: следовало и плетежками за мое зверство. Как раздумаюсь иногда про старое-то, точно вот сон какой вижу: светленько пожили в Загорье тогда. Один Тарас Ермилыч какой пыли напустили... Ах, что только было, ваше превосходительство! Ни в

сказке оказать, ни пером написать...

Эти воспоминания о прошлом всегда оживляли стариков, особенно Злобина. Но сейчас генерал как-то весь опустился и затих. Он не слушал совсем болтовни своего проворовавшегося верного раба, поглощенный какой-то новой мыслью, тяжело повернувшейся в его старой голове. Наконец, он не выдержал и заплакал... Мелкие старческие слезёнки так и посыпали по изрытому глубокими морщинами лицу.

— Ваше превосходительство, что с вами? — спохватился Ручкин. — Господь с вами... Да перестаньте, ваше превосходительство!..

— Довольно... будет... — шептал генерал. — Зачем ты тогда подвел меня с генеральшей? Не был бы я теперь один... Что ж, она была молодая, я старик... я так бы ничего и не узнал... да и узнал бы после времени, так простил бы ее. Слышишь: простил бы!.. Ах, Мишка, Мишка, отчего я тебя не прогнал тогда.

— А оно тово, ваше превосходительство... — замялся Ручкин. — Действительно, по человечеству ежели рассудить, так следо-

вало меня прогнать и даже весьма...

Чтобы понять тяжелую сцену, разыгравшуюся в квартирке Ручкина, мы вернемся назад, к тому времени, когда Смагин, соскочивший с балкона генеральского дома, быстро переплывал пруд. Домой он вернулся весь мокрый, в одном белье — сапоги потом нашли на берегу, а платье исчезло в воде. Наутро он навсегда исчез из злобинского дома, а затем, через несколько лет, его имя прогремело на всю Россию, как одного из крупнейших сибирских золотопромышленников: злобинские деньги пошли впрок. Что касается полненькой генеральши, то она кончила очень печально где-то в Москве, содержанкой какого-то купца. С ней бесследно исчезла и Мотька.

Верный раб Мишка, избыв генеральшу, забрал еще большую силу, чем до генеральской женитьбы, потому что генерал теперь доверился ему вполне. Он брал взятки артистически и далеко превзошел секретаря золотого стола Угрюмова и консисторского протопопа Мелетия. Особенно поживился Мишка в крымскую кампанию, когда доставил Сосуно-

ву крупный подряд по доставке артиллерийских снарядов, орудий и оружия. Условия были изумительные; Сосунов взял подряд, без конкуренции, по восемьдесят семь копеек за пуд и сейчас же сдал его Савелию по семнадцать копеек за пуд. Получилось чистого барыша по семьдесят копеек с каждого пуда, а таких пудов были сотни тысяч. Сосунов, таким образом, в две навигации сделался крупным капиталистом, Мишке тоже перепало тысяч пятьдесят, да и Савелий не остался в накладе. Все трое оправдали исконную русскую поговорку, что стоит казенного козла за хвост подержать и т. д. Дальнейшая история Сосунова представляла яркий пример неуменья распорядиться дико нажитыми деньгами. У него было около миллиона, но все эти деньги ушли меж пальцев: выстроил он громадную мельницу — мельница сгорела, выстроил дом-дворец, купил на юге громадный конский завод, открыл залежи графита и т. д. Эти предприятия поглотили все деньги Сосунова, а сам он остался нищим на старости лет и должен был скрываться от кредиторов уже в Петербурге.

Но поучительнее всего была история злобинских миллионов.

Примирение с генералом состоялось в непродолжительном времени, конечно благодаря содействию Мишки. Но генерал уже был не тот: точно полненькая генеральша унесла с собой всю его служебную энергию. А дела у Злобина запутывались все сильнее с каждым днем. Давили его и «родные сибиряки», и петербургские дельцы высокого полета, и разные неудачи со своими уральскими заводами, а больше всего, конечно, своя злобинская гордость. Знаменитая злобинская свадьба, продолжавшаяся целый год, закончилась очень печально: во-первых, скоропостижно умер виновник этого торжества Поликарп Тарасыч и умер очень подозрительно, во-вторых, с тихой и покорной Авдотьей Мироновной случилась беда... Впрочем, эта последняя история так и остается неразъясненной: молодая женщина влюбилась в коробейника, песенника Илюшку. Так по крайней мере повторяла молва, связывая с этой романической историей печальный конец Поликарпа Тарасыча. Коробейник Илюшка открыл в Загорье

большой галантерейный магазин и поживал припеваючи. Он уже успел объявить себя несостоятельным три раза и три раза рассчитывался с кредиторами по семнадцать копеек за рубль, — эти семнадцать копеек сделались чем-то вроде таксы для следующих купеческих банкротств, вошедших в Загорье, с легкой руки Илюшки, в моду. Только своих соловьиных песен Илюшка больше не пел: он точно забыл их в злобинском доме. Авдотья Мироновна коротала свою жизнь в полном одиночестве, забытая злобинской родней. Свадьба открыла собой посыпавшиеся на голову Тараса Ермилыча беды. Но это был один из тех крепких людей, которые могут переломиться, но не согнуться, — он и переломился. Когда денежная сила была надорвана, на Злобина посыпались всевозможные случаи: между прочим, выплыло на свет божий и «дело о мертвом теле енисейского купца Туруханова». Кажется, уж все было кончено и позабыто, но нашлись родственники, которые стали обвинять Злобина в убийстве. Дело было пустое, как знали и судьи, и свидетели, и сами родственники, но Злобин все-таки попал в

тюрьму, и это окончательно сломило его. Такие дела возможны были только в Сибири при старых сибирских судах. Ходили слухи, что все это дело поднято было Смагиным, которому нужно было захватить в свои руки лучшие злобинские промысла, — он нарочно отправился в Енисейск, разыскал родню Туруханова и заварил кашу. Ни деньги, ни заступничество генерала Голубко — ничто не могло спасти Злобина, опутанного цепкими тенетами. Из тюрьмы он вышел совершенно седым. Оправдание было получено тогда, когда уже все было сделано, чтобы его обессилить окончательно. Докончила его налетевшая на Урал строгая сенаторская ревизия, открывшая на заводах массу злоупотреблений. Его вторично арестовали и сослали в Финляндию, а на дела наложили опеку. Казенные опекуны растащили последние крохи злобинских богатств, так что в конце концов он оказался должным казне, и все его имущество поступило в конкурс и было распродано по частям для покрытия сделанного опекунами казенного долга. Целых десять лет, дорогих лет, прожил Злобин в Финляндии, откуда вернулся нищим и

поселился в Петербурге, чтобы хлопотать по своим бесконечным делам. Все министерства, все департаменты и комиссии отлично знали высокую фигуру Злобина, ходившего по своим делам, как на службу. Департаментские сторожа считали его своим человеком. Злобин совершенно ушел в эту работу и по неделям просиживал в разных архивах, откапывая все новые документы по своим делам. Чиновники смотрели на Злобина, как на сумасшедшего, и тянули разными обещаниями, советами и несбыточными надеждами. Этот тип сумасшедшего просителя хорошо известен каждому департаментскому сторожу.

Генерал Голубко слетел с своего места по той же сенаторской ревизии, которая унесла и Злобина. Наступало новое время, время преобразований и новых людей. Военный режим казенного горного дела отошел в вечность, а с ним вместе и генерал Голубко. На него были сделаны какие-то начеты и начато было даже дело, но все это было покрыто «милостивым манифестом». Генерал был честный человек и остался при половинной пенсии, которой сейчас и существовал.

Интересна была встреча генерала и Злобина в Петербурге в одном из департаментов. Они не видались лет десять, но поздоровались так, точно расстались вчера.

— А у меня на днях все кончается... — заявил Злобин, вытаскивая старый большой бумажник с документами. — Всего-то одной пустой бумажонки недоставало. Добыл ее, и теперь все пойдет, как по маслу...

Злобин тут же в передней разложил на окно разные документы и принялся читать их генералу. Потом вытащил из другого кармана связку писем от разных сильных людей, обещавших свое содействие и посильную помощь. Генерал терпеливо выслушал все, а потом угостил тем же Злобина, хотя и не в таких размерах, — у него тоже были и верные документы и письма. Мимо них проходили чиновники, кончившие службу, проходили ходатаи, просители, но они ничего не хотели замечать, поглощенные своими делами. Когда департамент опустел, дежурный сторож подошел к ним и объявил:

— Господа, сейчас двери будут запирать... пожалуйте.

— Как пожалуйте? — вспылил было генерал, но сейчас же сложил бережно свои драгоценные бумаги, спрятал их в карман и пошел покорно к выходу.

Единственной отрадой выбывших из строя отставных людей были их ежедневные встречи во время предобеденного генеральского гулянья, когда они могли поделиться и своими воспоминаниями, и надеждами, и горестями. Эти встречи отравляла только мысль о том, кто первый не выйдет на такую прогулку...

Торжествовал один верный раб Мишка.

Вольный человек Яшка

I

Глубокая осень. Последний осенний караван «выбежал из камней» только к 8 сентября. На реке Чусовой «камнями» бурлаки называют горы. Пониже камней Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной: по берегам стелется пестрая скатерть пашен, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выглянет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская цер-

ковь... и опять глухой простор на десятки и сотни верст.

Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади, — там, где сдавленная каменными кручами, река бурлила и играла, как дикий зверь. Опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов иногда аршина на два. Главным образом играли безыменные горные речушки; они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалась с гор. Так бывает только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

— Теперь будем переваливаться с плеса на плес, как блин по маслу, — говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу.

— У тебя везде масло на уме, — ворчал сплавщик[287] Лупан, припоминая последнюю хватку, когда Яшка напился до зла горя. — Все ищет, где полегче да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый...

На барке было шестнадцать бурлаков и в том числе три бабы. Собрались они с разных

сторон: какие-то отбившиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии; остальные — свой чусовской прибрежный народ, выросший на сплавах.

Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз — одним словом, не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды: на нем, кроме пестрядинной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь.

— Как же это ты так ошибся одежой-то? — журил его водолив.

— А вот за работой согреюсь... Который бог вымочит, тот и высушит.

— Пропил одежу-то?

Яшка только встряхивал головой и улыбался. Что же, было дело!.. Кто его знал, что на реке по ночам так студено будет. Ну, да одежа — дело наживное: не с одежой жить, а с добрыми людьми.

Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от

них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему и не прощали. Можно быть и пьяницей и забулдыгой, чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть — нет-нет, да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху.

— Ах, Яшка, хрен тебе в голову!.. Ну и Яшка!

На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался.

Дело было так.

Ранним утром барка бежала мимо лесистого берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холодным осенним туманом. Яшка стоял у потеси вместе с другими и корчился, как грешная душа. Вдруг он прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил:

— Эх, кабы ружье!..

— А что, Яша?

— Да вот жаркое-то как насвистывает...

В лесу действительно перекликались рябчики.

— И вкусен теперешний осенний ряб-

чик, — объяснял Яшка. — Ишь как выделывает, шельмец!.. Р-раз!.. — и жаркое. Нет лучше этого осеннего рябчика... Падает убитый с дерева, так кожа у него от жира лопается.

— Да ты охотник, что ли, непутевая голова?

— Случалось... Лет с двадцать ружьишком промышлял.

— Куда же ты его дел, ружье-то?..

Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник:

— Да он его пропил, ружье-то...

— Я? Пропил?..

Яшка вдруг обиделся, и это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой.

— Ах, Яша, Яша, зачем же это ты ружье-то пропил? — притворно жалели его. — Вот теперь и стой у потеси... Ел бы жареных рябчиков, кабы ружье-то... Ах, Яша, Яша!..

— Ничего вы не понимаете, черти! — ругался Яшка. — Едал я этих самых рябчиков достаточно. И глухарей, и уток, и косачей —

сколько даже угодно.

Слово за слово — и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого, здоровенного бурлака, в которого он вцепился, точно кошка.

II

Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки и вдруг припоминаю такой же ненастный осенний день в горах, ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника... Это был он, Яшка! Как это я не узнал его сразу?.. А между тем лицо у Яшки принадлежало к числу тех лиц, которые трудно забыть.

Впрочем, наша встреча происходила ночью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии пяти-шести лет таких встреч — сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо.

Да и Яшка сильно постарел, как-то весь вылинял, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги.

Непонятно было одно: как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю?

— А ты меня не признаешь? — обратился я к нему, когда Яшка грелся у огонька, горевшего посреди барки на особом очаге.

Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил:

— Как будто и не припомню этакого барина...

— А как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагане?.. Ты за рябчиками ходил...

Яшкино лицо точно просветлело.

— А ведь точно... — заговорил он как-то особенно быстро. — Ах ты, братец ты мой!.. Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала? Вот-вот... У меня тогда тоже собака, Куфта, была — аккуратный песик! Вот как глухарей по осеням на листвени облаивала... спелую белку искала!.. И на медведя хаживала!..

Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады:

— А вот привел господь бурлачины отведать, барин!.. Самый пустой народ... «Ружье, говорят, пропил», а того не понимают, галма-

ны, что такое ружье. Разве его можно пропивать?.. Нет, прямые подлецы они, барин, вот это самое бурлачье. Пропил!.. Варнаки!..

Оглядевшись кругом, Яшка прибавил вполголоса:

— Ружьецо-то у меня скапутилось... Да. Пошел по первому снегу за оленями; выследил одного, подкрался — трах!.. казенник[288] и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало... Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять его отдавал, ружье-то, денег на поправку стравил видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастеришки плохие и вконец извели. Вот я и подумал сплыть на караване до Перми: зароблю[289] восемь целковых да там и цапну новенькую орудию.

Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие.

Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большою задачей: он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком.

Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился «чаевать» со мною.

— Разве они што понимают? — объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. — Так, темный народ... Конечно, я на барке-то «пришей хвост кобыле», а поглядели бы на меня в лесу. Ну-ка, попробуй!.. Ты десять раз мимо прошел, а Яшка уж нашел. По лесу-то я барином хожу... Хочу — у огонька буду сидеть, хочу — завалюсь спать. Разве они это могут понимать?.. Яшка — вольная птица... Вот только бы господь сподобил касательно ружья!..

Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, но это оказывалось невозможным — третьего места в балагане не было.

Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и тепле, а Яшка корчится около огонька...

— Ведь не я один колею, — объяснил Яшка. — Конечно, они варнаки и ничего не понимают, а только все же человеки...

III

Это была ужасная ночь... Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку — делали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кроме мелей, никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на две смены — дневную и ночную.

Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега... Вся барка была покрыта слоем этого снега по крайней мере на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия.

Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом

царстве. Сплавщик Лупан, седой важеватый [290] старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину.

— А где Яшка? — спросил я водолива, отливавшего воду.

Он, тоже молча, мотнул головой на кладку медных полос — «штык», проходивших поленницей посредине барочного дна от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью.

Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по шести штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, — там по крайней мере не заносило сне-

гом, — но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу.

Я прислушался, — из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека.

Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если бы не было огня! Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверно, только потому, чтобы быть поближе к огоньку.

— Шли бы вы, барин, к себе в балаган, — посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. — Дело-то ваше непривычное: как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет.

Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под

силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок, рогож и еловой коры, — на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном.

IV

Проснулся я поздно, — проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени...

Над баркой с гоготанием тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая ранним снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь — очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов.

— Лови, робя, бей!.. — галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей.

Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший.

— Братцы!.. Родимые мои!.. Што вы делаете?.. Ах, варнаки... ах, подлецы!.. Братцы, миленькие, не троньте божью тварь!.. Разе можно ее трогать в этакое время?.. Очумели вы, галманы отчаянные!.. Креста на вас нет, на отчаянных... Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!..

Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу.

— Што ты делаешь-то, дурья голова?.. Вот я тебя расчешу... Право, отчаянные варнаки!.. Братцы!.. Черти!..

Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у бабы гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.

— А сам-то небось стреляешь всякую птицу, ярыга! — ответно ругалась обиженная баба. — Сбесился, деревянный черт!..

— И стреляю, дура-баба... да! — орал Яшка, закипая новой яростью. — Только не на перелетах... Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая. Вот ты бурчишь, ду-

ра-баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника вдесятеро взыщется. Так и с птичкой перелетной... Нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово: дура!.. Птичка-то к нам насела, дескать: «Дадут передохнуть, а может, и накормят», — а ты навалилась на нее как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?..

— В самом деле, братцы, не троньте божью птицу! — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. — Нехорошо!.. Пусть передохнет, а потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит...

— Да ведь это харч, — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. — Такое бы варево заварили, Лупан Степаныч!..

— А ты, оболдуй, слушай ухом, а не брюхом!.. Яшка-то всех умнее себя обозначил. Да!.. Он уж это дело знает.

— Ах, боже мой, да ведь грех-то какой! — умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. — Вон какая смирная птичка... Сама

в руки идет. Только вот не говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла...» А вы ее бить!..

Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага — человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам.

Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся.

— Будто еще должен один быть? — думал он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков.

— Все тут, Яшка...

— Ну, и слава богу!.. Спасибо, братцы!

А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.

— Эй, будет валандаться попусту! — скомандовал сплавщик. — Держи нос-от направо...

Потеси лениво забултыхались в воде. Гуси-

ный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготаньем.

— Правильная птица! — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. — Умнее ее нет... И живет парами, по-божески. Не то что, например, косач...

Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном:

— Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не колел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому за штуку...

V

Вечером мы вместе пили чай в балагане — я, водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее, не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка.

— Тебя не знобит? — спрашивал я.

— Нет, зачем знобить?.. Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся.

— Ну, теперь пойду на свою перину, барин…

Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой:

— Эх, Павел Евстратыч!.. То-то я давеча не досчитался одного гуська… Где у тебя совесть-то?..

— Ну, ну, подержи язык за зубами.

— Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь…

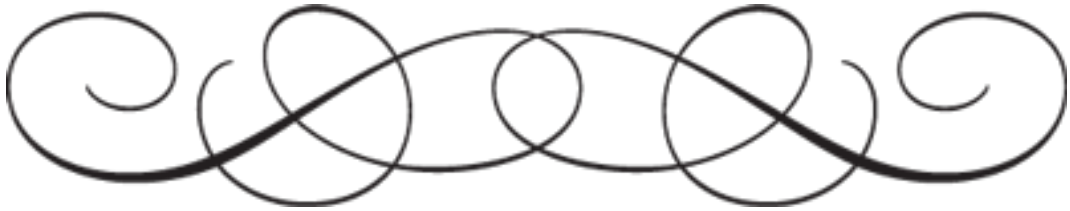
Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.

— Да ведь я его не ловил! — оправдывался водолив. — Сам он забежал в балаган. Ну, я его и пожалел: приколол.

— У волка в зубе Егорий дал?.. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо… Вот как нехорошо!

СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ

(Из сборника)



Сибирские орлы

На одном из промежуточных вокзалов только что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова-Гирей. Многие приехали на станцию с специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя содой высокий старик в потертой и выцветшей шинели, с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем — и в костюме, и в выправке, и в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксой, как на смотр; кепи упраздненного французского покроя было надето набекрень, что уже совсем не гармонировало

с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом субъекте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему, по крайней мере, было лет семьдесят. Только военная николаевская выправка создавала таких богатырей.

Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом ехали все такие основательные люди: купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди! Железная дорога привела с собой много такого люда, общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди, зачем они так торопятся и откуда они взялись?.. На каждом лице деловая тревога, глаза так и бегают, а общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас и невесть какие важные дела. Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин корен ной России и везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто шитое на живую нитку плутовство. Их

присутствие на этой станции для меня являлось неразъяснимой загадкой. Но они были тут и суетились больше всех. Другое дело — служащие Мансветова, которые явились встретить патрона по обязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины.

— Monsieur, несколько крейцеров... — проговорил над моим ухом хриплый, неприятный голос. — Извините, но мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...

Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобной рожи, а требовал, как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил:

— А как вы полагаете, сколько мне лет?

— Лет семьдесят...

— Извините-с, ровно восемьдесят. Да-с... Георгию Самсоновичу восемьдесят, и мне восемьдесят; по годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий Лазарь[291], а годы равны-с... Не правда ли, какое странное совпадение-с?.. Даже и не Лазарь, а сам Иов в дни

его несчастья... Вы слыхали про заболотского полицеймейстера Неупокойникова? Нет? Жаль... Он к вашим услугам.

Эта манера называть Мансветова по имени и отчеству: Георгий Самсонович — выдавала старого проходимца с головой. Выгнанный со службы сибирский чин сказался в двух словах. Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем запанибрата, когда еще он и т. д. Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников не у дел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился, гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст, а вот такому субъекту посовестится отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицеймейстеру Неупокойникову. К довершению всего старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязно потребовал рюмку водки. Оставалось ждать, как он заявится опять, дохнет прогорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но

это было невозможно: вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса.

— Я тут у знакомого попа гостил, а теперь пробираюсь в Питер... — заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. — Скитаюсь из страны в страну... взыскующий града... да...

Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал: что же, ведь он меня не съест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется...

— Вы долго служили в Заболотье? — спросил я.

— Да порядочно-таки... И в Восточной Сибири служил и в Западной, а кончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей... Сам выезжал. Да... Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит? Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара... Только выехали из церкви молодые, я еду впереди, как полицеймейстер, а кучер-ворона и распусти вожжи... ну, лошади понесли коляску, а я выскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавли-

вал… Мы, казаки, около лошадей с детства, так оно привычное дело.

— Вы из каких казаков?

— А из Сибирского казачьего войска. Как же, казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать… Да. Так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе из щеки в щеку расцеловал… Мы с ним давно знакомы были, когда я еще тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья, и в Чернореченском заводе была каторга. Да… Упразднена в 1863 году.

— Какой же это завод был?

— Винокуренный, казенный-с… Это еще при откупах было. Несколько таких заводов было в Сибири, и казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович и арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги… Потом уж они развернулись до необъятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят, а под ними Георгий Самсонович любили вечерком посидеть и помечтать-с. Да-с… Под этими березками, может быть, какие

мысли-то обдумывались? Я вам скажу прямо: Георгий Самсонович — гений... и я их боготворю. Вчуже сердце радуется, и точно сам молодеешь... Вот какие прежде-то люди были: орлы! Да-с... И взгляд орлиный имели, прямо сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовал Чернореченский завод, так рабочие были все каторжные. Другие в кандалах у заторных чанов[292] стояли... О чем я хотел сказать, позвольте...

— О Мансветове.

— Да, да... Извините, захлестывает у меня иногда, потому что и стар, и дряхл, и обременен летами... Говорил уж я, кажется? Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я смотрителем каторги был, так раз ночью и докладывают, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствие, розыски, но ничего обнаружить невозможно. Известно, каторжные... На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствия у нас производились тут же, в конторе. Ну, выстроили в шеренгу человек двадцать таких подлецов, что картина. «Знать не знаем, ведать не ведаем...» По старым судам

это много помогало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни Георгий Самсонович... «Не нашли виноватого?» «Никак нет-с!» «Эх, плохо вы следствие производите... Ну-ка, я не буду ли счастливее!» Вышел это к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех издали, а потом прямо к одному подходит и прямо его по уху: «Твоих рук дело, подлец!» Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах... Ну, арестант, известно, свалился и сейчас на колени: «Виноват, ваше благородие...» Вот какой взгляд был у человека!

— Да, действительно... взгляд.

— И другой случай был... Это уж в Заболотье. У одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают, по ночам стук и треск — житья не стало. Хорошо-с... А чиновник-то не маленький, и, как семейный человек, конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсонович и говорит чиновнику: «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами»... А сам смеется... Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в чер-

та не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику. Осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи, а потом и говорит: «Действительно, духи у вас очень уж расшалились». Чиновница тут же стоит и слушает в оба уха, а Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо: рраз! рраз! Ха-ха... Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели барыне досадить. Так я и говорю: вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда... даже, знаете, смешно говорить-с.

— Маленькие нынче люди...

— Нет, вы послушайте, что дальше-то было... Эта самая горничная, которая духов изображала, — из-за нее я вот в настоящем виде и очутился, — после того, как пришла в себя, от всего отперлась, ну, попала ко мне в лапы на предварительное дознание... хорошо-с...

Свисток подходившего поезда прервал рассказ сибирского орла на самом интересном месте.

Поезд подходил, медленно и тяжко сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм, как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купе ехал он. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца: было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь... Сибирский полицеймейстер, конечно, был впереди всех и, когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек.

— Господа, не напирайте...

Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову.

— Поезд стоит тридцать минут!.. — надтреснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-та особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах да вымуштрованная железнодорожная прислуга.

Мансветов так и не показался из вагона. «Нужные люди» по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались — магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было... У Мансветова было золотое умение распознавать людей, и раз попавший к нему на службу мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности.

— Когда же я-то, господа? — растерянно спрашивал Неупокойников, напрасно стараясь попасть в очередь.

— Послушайте, господин, да вам зачем?

Старику пришлось ждать долго, но он-таки добился своего Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кепи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы.

— Не узнал... нет, не узнал... — бормотал он. — Конечно, где же узнать... столько лет...

В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и

смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпей. Поезд мчался с особенной быстротой: машинист понимал, что везет цезаря и его счастье. На одной из маленьких станций Неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет — сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло по-прежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа.

— Не узнали-с... — заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. — Да и где же узнать, помилуйте!.. Хуже...

— А что?

Старик оглянулся и хриплым шепотом добавил:

— Захожу-с... Георгий Самсонович полулежит на кушетке... я их сразу узнал: один взгляд чего стоит. Конечно, года... ну, орел, одним словом. На лице этакая усталость и некоторая задумчивость... Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить! Георгий Самсонович этак вскользь взглянули на меня и

трехрублевый билет подают... Господи, что же это такое?.. У меня даже горло сдавило, слова не могу сказать... Так и ушел, и деньги бросил: не могу. От чужого возьму и даже сам обращусь, а тут свой брат... помилуйте, хлеб-соль прежде водили...

— Он просто не узнал вас.

Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады, и уже на ухо мне прошептал:

— Это я себя обманываю, что не узнали... Помилуйте, Георгий Самсонович — да не узнает! Этакий-то орел... Сразу узнали, а мне совестно стало... за них, что они притворились. Ей-богу... У них все, у меня ничего, и мне же совестно. И вдруг: трешницу... А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам, чтобы встретить их — последняя надежда, можно сказать... Теперь уж все кончено: если Георгий Самсонович отвернулись, то чего же ждать? Finita la commedia...

У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными, опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские

производят неприятное и жуткое чувство — нет, значит, выхода... Наступила пауза.

— Вы за что же, собственно, пострадали? — спросил я.

— А... что?.. — точно проснулся Неупокойников, — За что пострадал?.. Да очень просто, за эту горничную с духами... Действительно: я шутить не любил, допросил ее собственноручно, а она и умри... кто же бы мог подозревать, что у простой девки и вдруг порок сердца?.. Тут уж на меня, имярек, и налетели злые коршуны и давай щипать, и вот что произвели: наг, сир, гладей и хладен... Ну, отними все, возьми, но не дай вконец погибнуть... да-с. А то как уволили с волчьим паспортом,[293] по третьему пункту — и пропал. Находил и место и занятия, все ничего, а как дойдет дело до паспорта и увидит человек мой третий пункт — даже замычит. Да я сам не принял бы caiMoro себя никуда с этакой рекомендацией.

— Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны, и пугаться третьего пункта довольно странно.

— Да ведь Неупокойников по третьему

пункту уволен, а Неупокойникова вся Сибирь знает, скажу не хвастаясь... Вернее, знала. Ведь нужно сказать вам, как я жил: князь... принц... Только в сказках можно прочитать. В Заболотье-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись... Господи, что было, что только было!.. Какие люди, какое время... А горные инженеры? Представьте вы себе, что в ничтожнейшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег... Великие были люди: Аника Терентьевич, Тит Поликарпыч... да мало ли их, всех не перечтешь. И мы с Георгием Самсоновичем перебрались: он свою линию повел, а я свою... Даже страшно выговорить: полицеймейстер в Заболотье. Силища... Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников: знали меня на каторге-то. Молод, красив, удал... Еще подходишь к дамочке, а она уж не знает, куда ей деваться: сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал... Нарочно за мной в Чернореченский завод из Заболотья посылали, потому что был еще у меня один талант: русские песни никто лучше меня не умел петь.

Развеселится компания и за мной: спой, голубчик... Слушают и плачут — вот какой голос бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицеймейстера?.. Ну, и попал сыр в масло: квартира первая в городе, в конюшне двадцать лошадей, вин целый погреб — и хлебосол и угодник. И вкус имел: ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу, вообще артист. И английский хрусталь, и китайская бронза, и японские лаки, и бухарский шелк, и картины — все было. Дом — полная чаша. Каждая горничная — пиши картину, а главный кучер — морское чудовище, ей-богу. Голосина у него, у подлеца: как рявкнет на улице — человек и оторопеет.

А больше-то всего любили меня, если говорить правду, за удаль... Ведь сторона дикая, народ-варнак, ходи да оглядывайся, а у меня в городе ни гу-гу. Каждую ночь переоденусь в полушубок, подвяжу бороду и везде побываю. Только скажешь, бывало: «Неупокойникова знаешь?» «Виноват, вашескородие». Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов двенадцати весом. Один обоз останавливал... А взять его не мог-

ли... Не в моем он участке разбойничал. Ну, меня и подразнили: «Неупокойников, возьми-ка Карагуза, ежели смел». «Я? Голыми руками возьму...» Признаться сказать, захвалился я: в поле Никола бог, и татарин силищи непомерной. Хорошо-с... Сказал слово, надо его держать. Нарядился — купцом, — посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал... Едем. Ночь волчья, снежок падает. Лес по сторонам... Только обгоняет меня кошевая и поперек дороги, — известная разбойничья замашка. «Стой!..» Выскочил я и прямо к нему: он, Кардгуз. Ну, я бормочу по-купечески: «Возьми все, отпусти душу на покаяние...» Понял, собака, с кем дело имеет, — как размахнется железной укрючиной, да как свистнет... А я увернулся по-казачьи, а укрючиной-то полу полушубка как ножом отрезало. Я ему, идолу, под ноги брошусь, тоже ваша казачья ухватка, он через меня, как дерево дубовое, а я на него... Выхватил укрючину-то и укомплектовал. Сам привез еле живого, а Карагуз на второй день и душу своему аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне — поднес-

ли, а Георгий Самсонович публично расцеловали. Все у меня было, и ничего больше не желал, а и тогда я преклонялся перед Георгием Самсоновичем, которого почитал за гения... И вдруг из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды да следствия, и я точно растаял... Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы, всего, по перышку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта...

Рассказчик даже глаза закрыл, видимо, прислушиваясь к звуку собственных слов.

— А давно все это было? — спросил я.

— Да уж порядочно... Теперь уж лет тридцать, как я на волчьем положении... Сегодня вот привел господь принять последнее поношение... обидно... Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово — возродился бы из праха.

Главный барин

I

Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухе, засевшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать: это был край света, совершенно особый мир, страничка из русской истории XVII столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития, а Грязнуха оставалась все такой же Грязнухой, чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитиям. Около двух лет назад пришел какой-то посельщик Евстрат, темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска, высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухе и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня, — в ней все жители носили одну фамилию, Евстратовы, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, когда всего

в версте от нее великолепное светлое озеро Вежай с такими удобными берегами для селитьбы, но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается по чащам и зарослям травленый волк, — ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрат не ошибся: он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь «Евстратовых» дворов тридцать. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру: не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе Грязнуха решительно была никому не нужна и сама ни в ком не нуждалась. Мимо нее никто и никуда не ездил, не было здесь никакого торжка — одним словом, как есть ничего, и все эти Евстратовы жили, наверно, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже такие всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и линючие московские ситцы. Все ходили в домотканой пестрядине, носили домотканую сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами Грязнухи не бывали

и боялись всего, что было за этими пределами, — это был родительский страх. Бывальцами в Грязнухе считалось двое мужиков — отставной солдат Македошка, отчаянный пьянюга, и охотник Сысой, возивший набитую на озере Вежае дичь в город. Они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным.

Мне случалось раза два в лето приезжать в Грязнуху с специальной целью поохотиться на гусей, укрывавшихся по «ситникам» и «лавдам» озера Вежая. Ситник — высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш; ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько верст. Из ситника же образовались живые плавучие острова — это и есть лавды. Озеро Вежай разлеглось в обоих лесистых берегах на несколько верст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке-душегубке. Эти ходы так запутаны, что неопыт-

ный человек мог по ним блуждать несколько дней, как по лабиринту, и все-таки не выбрался бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь — сторожкая, умная птица и не будет вить гнезда в сомнительном месте, а здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один Сысой.

Итак, я подъезжал в осенний денек к Грязнухе с тем чувством, как будто погружался в глубины XVII столетия. Стояли светлые сентябрьские дни «бабьего лета». Узкая проселочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения, точно его била жестокая лихорадка, — пенье, коренье, каменье и непролазные великие «грязи», как писали приказные из Москвы.

— А застанем мы Сысоя дома? — спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство.

— Куды ему деться-то, Сысою? — уверенно ответил бывалый городской человек. — Из-

вестно, дома...

Тоже особенность Грязнухи: всегда и все были дома, следовательно, и Сысой должен быть дома.

У Грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото, а в болоте рассажались без всякого плана десятка три изб, да и те, по русскому обычаю, задами к реке. Изба Сысоя стояла в стороне. Мы к ней и подкатили, обратив на себя внимание одной только собаки Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость, солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку, — время самое не указанное для такого занятия. Сам Сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами и даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль.

— Ах, братец ты мой... — проговорил он на-

конец, крутя головой. — Д-даа... Как вы насчет этого самого полагаете, городской господин?.. Ах, братец ты мой...

Я ничего не мог полагать относительно «этого самого», и Македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу, точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека.

— Ты бы, Македошка, шел домой, — предложил Сысой. — Только духу напустил своим винищем...

Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, а потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил:

— Баушка-то, значит, Домна... х-ха!.. Маланья, ты бы проведать ее сходила... Решилась баушка-то. Совсем как полоумная ходит. Верно...

— И то решилась... — ответила сердито Маланья, гремя ухватом. — Этакое счастье господь послал.

— Деньги куда-то спрятала, а сама все яйца

считает... х-ха. А кто руководствовал все дело? Все я, Македошка... На, получай, да не поминай лихом Македошку. Ах, братец ты мой...

— А Ермилку ты же научил? — спросил Сысой, оставляя работу.

— Ну, Ермилка-то другого поучит... Он, брат, сразу привесился. Шешнадцать целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар наставляли, да вечером пермени сделали — только и всего. Новую лошадь, слышь, покупает на эти деньги... Вот он какой, Ермила-то!.. Ах, братец ты мой... А баушка Домна решилась ума, верно. Даве я заходил к ней, так она забилась в угол и от меня этак рукой: «Уйди, солдат! Уйди, грех!» Х-ха...

Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись ни с кем, вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день.

— Форсун... — сердито ворчала Маланья, когда дверь за солдатом затворилась. — Непутевая голова.

Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное, а

Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста плечистый мужик в полной поре... Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной цельностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоя служила только подспорьем, а по существу он был исправный, работящий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения — все говорило в его пользу. И баба у него была славная. Все успевала сделать и мужа обряжала с деревенским достатком — все на Сысое было крепкое своей домашней крепостью. Я заметил, что в Грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысоя. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью.

— Поедем на охоту? — спросил я Сысоя.

— Поедем...

Он ответил неохотно, — видимо, ему было не до гусей. Признак был плохой.

Когда мы собирались выйти из избы, в ок-

не показалась голова Македошки. Маланья даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула.

— Ах, братец ты мой... — бормотал он. — Сейчас был у баушки Домны... х-ха... То ли еще будет... Постой!..

Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, Македошка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади.

— Сбесился, крупа, — ворчал Сысой, вскидывая на плечо свое ружье.

II

До озера от Грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком «карандашнике», то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы-карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная, — рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью и не бывает крупной волны, как в Петровки, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внима-

ние на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов.

— Кто-то приезжал на охоту? — попробовал я догадаться.

— Нет... нет... — уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. — Наезжали господа...

— Следователь?

— Нет... Как их назвать — не умею. Одним словом, чугунку нам хотят налаживать.

— А...

Для меня теперь сделалось ясно все, начиная с пьянства Македошки и кончая нервным настроением Маланьи. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмахе. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят, — на Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами.

— Птица грудиться стала... — объяснил Сы-

сой. — Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожатся.

Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая и как-то по-мертвому расходилась жидкими морщинами, точно это были конвульсии.

Охота как-то не задалась. В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили, потом мое ружье сделало осечку, потом Сысой «промазал» по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уже тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах, потому что, видимо, он сегодня относился к делу с самым обидным индифферентизмом, а когда нег священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных чирка, одна кряковая утка и гагара— последнюю Сысой убил от злости, чтобы

разрядить ружье.

— Ну что же, остается ехать домой, — заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. — Какая это охота...

Сысой только тряхнул головой.

— Домой выворотимся? — спросил он точно в свое оправдание.

— Выворотимся.

Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах, и это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. Эта последняя неудача сконфузила его, и он энергично выругался.

— Ах, братец ты мой!.. — ворчал Сысой, загребая веслом. — Ведь вот поди ты, притча какая... а?.. и-нуу...

Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, Сысой заговорил с тою особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли:

— Что у нас делается, барин... А-ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась. Ходим, как пьяные... То есть такое дело, такое дело!.. Вон баушка Домна совсем спятила с ума... Ви-

дите ли, как оно все вышло. Народ, прямо сказать, от пня, ничего не понимает. Живем в лесу... А тут вдруг пали до нас слухи: ведут чугунку, и прямо на нас. Ну, ведут, так ведут... Наше дело — сторона. И что бы ты думал, братец ты мой? Устигла она нас, чугунка, значит, и еще как устигла... Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет... Там у них село и, значит, кабак, и, значит, Македошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а Македошка на своей собственной лошади едет и пьяный-препьяный, и песни орет. Избенка у него заваляща́я, женушка непутевая, хозяйство — ухват да вилы, тут прямо на своей лошади. Приехал он это и бахвалится: «Народы, грит, озолочу!» Известно, непутевый человек, зря орет. Одним словом, озорник... Хорошо. Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Грит, пришла это партия в Матвеево и сейчас, например, начальник: самовар. А самовар-то только у Ермилы... Справный мужик, свой кабак содержит. Хорошо. Выпили господа самовар, а потом есть захотели. А какая в деревне еда? Ну, тут Ермила опять свою ли-

нию, настряпала евонная хозяйка перменей и подает. Наутро опять самовар... А потом барин и говорит: «Сколько тебе следовает, мил-человек?» Ну, Ермила-то и ахнул: шешнадцать целковых... Тоже совесть у человека. На полтину всего-то добра справил, а он вон как завернул... Тоже и язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А Македошка, значит, тут же толчется и все смотрит... Одним словом, пес кабацкий. И сейчас, напримерно, Македошка к партии пристроился, партия идет — и Македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст с сорок, ну и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну, а тут пересылку надо сделать — опять Македошка тут же. Барин-то и лошадь ему дал: езди, ищи. Ну, Македошка и ездит, а поденщина ему три целковых. Это как по-вашему?.. В месяц ему таких денег никто не даст... Хорошо. Только ездил-ездил таким манером Македошка, напился как-то да пьяный прилег к огню и бок себе спалил. Сам-то чуть не сгорел, окаянная душа... Хорошо. И что бы ты думал, какую штуку уколол он, Македошка? Горел-то он в пар-

тии, ну, начальник, который при партии, и пожалел его, пса, значит, дал шесть целковых: ступай, выздоравливай. А Македошка уж весь скус узнал и прямо к главному барину: так и так, чуть живота не решился. А главный барин добреющий и сейчас, напримерно, добывает четвертной билет и дает Македошке. На, не поминай лихом... И сейчас Македошка купил себе лошадь и прямо к нам в Грязнуху пригнал. Сбесился человек... Слова у него пустые, осатанел... Ездит по деревне и орет: «Всех озолочу!»

Сысой тяжело перевел дух, еще раз переживая все, что произошло.

— Нет, что он сделал, опять Македошка этот самый... Прожил этак дня с два, деньги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо к главному барину, сейчас в ноги, сейчас завыла: так и так, муж помер... Запалил себе бок и помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы, только не реви. Ну, воротилась она в Грязнуху и деньги своему солдату принесла... Вот какое дело, барин. То есть никто ума не приложит... Хорошо. Только дошла партия и до нашей Грязну-

хи, а потом, того, и сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин — глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него нетолченая труба, ну и уважает свой карахтер. Пожил у нас он дня с два... да... И нагляделись мы! Ах, что только было, братец ты мой! Деньгами так и сыплет: на, получай. Македошка тогда и научил баушку Домну: «Ступай, баушка, яйца продавать барину и проси с него за десяток четыре целковых». Ну, побежала старуха, показывает яйца, а барин ей сейчас деньги... Что же это такое, а?.. По нашей-то цене всего восемь копеек они стоят, да и то некому продавать... По осени вон я цыплят вожу в город, так по пятачку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и а жисть свою таких денег не видывала... Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное — никто ничего не понимает, как и что...

— А Македошка?

— У Македошки ошибочка вышла с барином... Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого... Барин в Грязнуху, а он сейчас к барину. «Да ведь ты помер?» «Никак нет, ваше

высокое благородие». И сейчас, например, говорит: «Пожалуйте, грит, за бесчестье четвертной билет»... Ну, тут уж главный барин расетервенился и прямо Македошку в шею... Ах, что только было, братец ты мой, что было!.. Все мужики-то как оморошенные сделались, так и рвут... Ну, а потом партия ушла дальше, главный барин уехал, а мы вот остались опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки...

Положение Грязнухи действительно было критическое. Из своего семнадцатого века она прямо перешагнула в самый конец девятнадцатого. Одно появление «главного барина» перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога докончит остальное.

Я уезжал из Грязнухи с тяжелым чувством, как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай и озеро Вежай, и гуси, и вся обстановка семнадцатого века...

Зверство

(Летние эскизы)

I

Горячий летний день. Река точно застыла. Изнемогающие от зноя собаки напрасно ищут спасительной тени по разным заугольям. Красиво дремлет на крутом берегу кучка домиков, спрятавшихся на вековом бору. У самой воды вытянулось деревянное здание, где чающие исцеления пьют железную воду и принимают ванны. Это провинциальные «минерашки», забравшиеся на сибирскую сторону Урала. Местное название — Курьи. Публика уже привыкла к ним и охотно их посещает, особенно благодаря удобствам, которые доставляет Уральская железная дорога, — по ней до вод рукой подать. Скептики клятвенно уверяют, что курьинская вода не содержит ни одного атома железа, а верующие доказывают, что вода прекрасно действует. Мы знаем только то, что Курьи очень многим помогли, что они доступны самым небогатым людям и что наконец несколько деревень жи-

вут недурно благодаря «наезжающим господам». В зной публика прячется по квартирам или бродит по парку, и только самые неугомонные и точные курсовые дамы торопливо пробираются к ванным. Мне не помогут никакие воды, но я верю в животворящую силу солнца и по целым часам брожу на припеке. Солнце — все, оно податель жизни, главный двигатель, и есть основание подозревать, что оно же и починивает многое, что мы, по свойственному одному человеку безрассудству, так последовательно и упорно расстраиваем. Но наше северное солнце скупое, и приходится дорожить каждым солнечным днем. Итак, я иду по самому открытому месту; зной так и пышет. Сделав определенный круг по крутому угору, спускаюсь к реке и по пыльной дороге иду к парку, где так хорошо отдохнуть сейчас.

Территория собственно вод отделена от крестьянской земли деревянной изгородью. У главного въезда воротником стоит слепой парень, который молча кланяется каждому прохожему. На водах парень уже свой человек. Мне нравится в нем известное спокойствие:

он не пристает к прохожим, не канючит и принимает милостыню, как должное. Приезжих в лето набирается несколько сот, и если каждый подаст всего один пятачок, то получится изрядная сумма. Слепой парень, видимо, спокоен за свое существование, тем более, что у него в руках призрак некоторой должности — он затворяет ворота, чтобы не пускать в парк жадную деревенскую скотину. Нужно видеть тревогу этого слепого лица, когда со стороны деревни послышится торопливый топот бойких овечьих ног. Овца не корова, так и норовит прорваться через заповедную грань, и слепой ужасно волнуется, когда почувствует приближение вороватой твари. Не стало ей, подлой, травы в поле, так нет, давай пролезу еще в парк... Я иногда разговариваю с слепым человеком, который узнает меня по шагам.

— Да ведь много ходит людей мимо, как же ты узнаешь? — спрашиваю я.

— Приобык, а потом в жару ты один ходишь... Я вот тоже на солнышке-то люблю... во как жарит!..

В описываемый день я еще издали увидел

своего знакомца слепого в большой ажитации. Он размахивал руками и громко ругался с каким-то мужиком, который понуро сидел у самых ворот.

— Уйди от греха! — кричал парень и пробовал стащить за руку упрямого мужика, — Мое место... Ишь, выискался тоже, ловчак... Проваливай, говорят...

— А ты не тронь... — как-то равнодушно отвечал мужик, продолжая сидеть. — Жаль тебе места-то, ироду?

— Уйди от греха... Тебе говорят...

Единственной свидетельницей этой сцены была босоногая и белоголовая крестьянская девочка лет семи, которая стояла посреди дороги и с детским любопытством ждала, что будет дальше. Мои шаги заставили воевавшего слепца утихнуть, — нехорошо при постороннем-то барине ругаться. Когда я подошел совсем близко, дело разъяснилось: сидевший мужик также был слепой, следовательно, являлся конкурентом нашему курсовому слепцу. Это была профессиональная ненависть, как бывают профессиональные пороки и добродетели и даже профессиональная честь...

— В чем дело? — спросил я, останавливаясь.

— Гонит, — коротко ответил слепец-чужак. — И что я ему помешал? Слава богу, обоим места хватит и еще даже от нас останется...

— Да ведь я тут который год? — заспорил курсовой. — Я при должности состою... Обыщи себе свое место и сиди. Небось, я не полезу к тебе...

Курсовой слепой отемнел еще в детстве, может быть, он и родился «темным», так что его еще молодое лицо приняло типичный отпечаток неподвижности. Слепец-чужак являлся уже калекой: все лицо у него было обезображено, а вместо глаз оставались какие-то дыры. Но по подвижности этого обезображенного лица можно было предположить, что он таким сделался сравнительно недавно.

— Как же быть в самом-то деле?.. — вслух подумал я.

— Гонит яво, — проговорила девчонка, очевидно, принимавшая сторону чужака, которого и привела.

— А так и будет: сяду и буду сидеть, — рав-

нодушно ответил мужик. — Ежели разобрать, так мне здесь самое настоящее место... Что тебе: один, как перст, а у меня семейство, поди, в деревне-то осталось. Себя воспитывай, да еще ребята... это как по-твоему?

— От себя отемнел, так нечего и жалиться, — уязвил курсовой слепец. — А я урожденный... моей причины никакой не было... Господь нашел.

— И меня господь нашел, — спорил чужак. — Еще как нашел-то!

— Ты недавно ослеп? — спросил я, заинтересованный этим спором.

— А второй год... По своей, значит, вине принял наказание божие, — с покорным равнодушием ответил он. — С земляком мы, значит, домой обращались, с заработков... Идем это к себе в деревню, остается еще верст со сто. Известно, прохарчились, обносились, устали. Я и говорю товарищу-то: «Скажемся бродягами...» Это чтобы за тепло не платить и за харчи. Добрые люди бродяжек даром пропитают... значит, для своей души спасение... Хорошо. Сказались мы бродягами... Попаило нам сразу: тут покормят, там пятачок пода-

дут... А нас уже из совести совсем вышибло! Набрали мы денег да в кабак, да еще с собой полуштоф водки... Приходим таким манером в деревню и уж смело в крайнюю избу: так и так, бродяги. Хозяин видит, что бессовестные, — только бы отвязаться от дорогих гостей. То-се, собрали на стол поесть, а мы полуштоф свой расчали... Поели, выпили и пошли дальше: сыты, пьяны... Только этак отошли мы верстов с пять, а земляк-то и говорит: «Эх, — говорит, — посудину напрасно оставили. Воротимся...» Ну, идем мы это назад к деревне, а там дым столбом: горит деревня-то летним делом. Только мы увидали дым, а навстречу уж мужики бегут... «Вот, — кричат, — поджигатели, бродяги...» Ну, какой тут разговор: пымали нас и давай бить смертным боем... Били-били, проволокли на пожарище и хотели в огонь бросить, да раздумали: кто-то притащил купоросного масла, да купоросным маслом нас и облили... Ну, конечно, мы без памяти стали, а они, мужики-то, на телегу нас да к чужой деревне и подбросили. Тут уж нас обыскали, значит, и по начальству предоставили. В земском лазарете вылечили... А по-

том мужиков-то, которые нас отемнили купоросным маслом, в суде судили и в Сибирь засудили. А нам разве от этого легче? И наши семьи засиротели, да и у тех тоже... Обязали их будто воспитывать нас, а какое воспитание, когда у самих ничего нет... Вот какое дело, барин!.. За чужую милостыню нас господь нашел...

Вечером, проходя воротами, я опять увидел только одного курсового слепца, а чужака не было.

— Где тот, давешний-то слепой?

— А ушел...

— Куда ушел?

— Кто ево знат... Ушел куды-то.

II

Ровно через неделю я встретил слепца-чужака на станции Уральской железной дороги Богданович.

Он пытался попасть на поезд, но без билета его не пускали: железная дорога не богадельня... Он так и остался на вокзале с протянутой рукой. Не нашлось настолько щедрого благодетеля, который заплатил бы за его проезд «до города». Это была совершенно беспо-

лезная попытка прорваться в такое место, где слепой человек может рассчитывать на щедрое подаяние: его из города высылали уже несколько раз «по месту жительства».

В вагоне третьего класса, где вместе со мной возвращались с вод из Курей еще несколько курсовых, зашел разговор о несчастном человеке. Одни жалели его, а другие порицали. Особенную жестокость проявил благообразный седенький старичок, повидимому, дышавший голубиной кротостью.

— Так и следует их, варнаков, — повторял он настойчиво: — не притворяйся бродягой... Милостыню-то не им, варнакам, подают, а богу. Лепта... Вот теперь и казнись за напрасную-то милостыню, да и другим закажи. Да...

— Это одна жестокость, — спорил курсовой отец дьякон. — Наказание несоразмерно с виной... Помилуйте, купоросным маслом выжечь глаза живому человеку!..

— Достаточно этого зверства среди мужиков, — присовокупил молодой купчик. — Даже ужасное зверство происходит... Страшно рассказывать. Про подкованную-то девку слышали? Мне это верный человек сказы-

вал... как же-с!.. Тоже в деревне дело было... Девка-то гуляла, ну ее свои парни и захотели поучить. Привели в кузницу, поставили в лошадиный станок и сейчас кузнецу: «Подковывай!». Тот туда-сюда, а они ему ножом пригрозили. Что бы вы думали, ведь подковали, как лошадь куют: например, взяли подкову, накалили и сейчас, например, к левой ноге приставили и гвоздями-с... Так на обе ноги подковали и одну руку, а тут уж девка не стерпела: в станке померла-с.

— И поделом, не плешничай, — подсказал благообразный старец. — Разврат-с... Для нее же лучше, то есть для девки, что, например, еще на земле приняла казнь за свои грехи. Агроматный разврат идет теперь среди мужиков, не говоря о заводах или городах. Ослабел народ, в особенности женский пол... Их бы, блудниц этих самых, всех купоросным маслом!..

Легенду о подкованной девке мне приходилось слышать в нескольких вариациях, но достоверность ее еще требует подтверждения. В настоящем случае важно отношение к такому факту «посторонней публики». Благо-

честивый старичок напирал главным образом на «чернядь», на мужика, для которого требовал и кнут, и зеленую улицу, и застенок, а публику в собственном смысле выгораживал.

— Что такое мужик: зверь! — ораторствовал он уже с ожесточением. — Посмотрите, что мужики по деревням над своими бабами выделывают... Страсти господни! И вообще зверство... Как окружный суд наедет куды-нибудь в Шадринск или в Ирбит, глядишь, за две-то недели лет двести каторги набежит. Одним словом, варнак народ по здешним местам... Озверели все.

— Все-таки несправедливо платить зверством за зверство! — возмущался кто-то в публике.

— Ею же мерою мерите, возмерится и вам, — отвечал старичок. — Нельзя-с: темнота... Я главным образом про мужиков выражаюсь, а не касаемо до прахтикованных людей, которые имеют свое понятие. Да... Одним словом, мужик-с!..

— Все хороши, взять хоть тех же купцов, — заявил не известий никому господин, слу-

шавший до этого момента молча. — Знаете дело купца Валина, который в Шадринске жену из ружья застрелил? Да-с... Положим, они пьянствовали вместе и человеческий образ потеряли, а все-таки...

— А она ему рожу всю исцарапала, — спорил старик. — Это, значит, Валину, а потом и говорит: «Вот, — говорит, — ты после завтра именинник будешь, так покрасуйся с ободранной-то рожей». Ну, он и не стерпел...

— Хорошо, я допускаю, что пьяные люди могут сделать все, — согласился господин — я даже не защищаю убитую... Оба пьянствовали, бесчинствовали и кончили уголовщиной. Это между ними и останется... А вот что нехорошо: зачем оправдали Валина-то? Мало того, что оправдали, Валин-то потом к оставшемуся после жены имуществу еще права наследства предъявил... Пожалуйте, говорит, мою седьмую часть. Где же, например, совесть?..

— Это уж адвокаты научили...

Поезд летит по слегка всхолмленной равнине. Вдали мелькают какие-то деревни, перелески и шахматы полей. Картина самая мирная, которая совсем уже не вяжется с же-

стокими разговорами. Наступает долгая пауза. Благообразный жестокий старичок глядит в окно и тяжело вздыхает, сокрушаясь об ему одному известных грехах. Споривший с ним господин задумчиво крутит усы и время от времени вызывающе поглядывает на других. Очевидно, его так и подмывает еще раз сцепиться с жестоким старцем и договорить что-то недосказанное, что его, видимо, мучило. Одет он прилично и вообще приличен. Только в серых выкаченных глазах светится что-то такое желчное и беспокойное. Одним словом, довольно распространенный тип человека, который «не позволит наступать себе на ногу». Он попробовал завести разговор с дьяконом, но из этого ничего не вышло: дьякон оказался таким кротким человеком, что соглашался уже вперед с каждым вашим словом.

— Нет, позвольте-с... — говорил желчный господин, споря с невидимым противником... — Так нельзя-с!.. Конечно, мужицкое зверство возмутительно, но эго физическое зверство, где человека убивают, режут, ослепляют, увечат... Сравнительно это еще не так

страшно, как нравственное зверство. Даже подкованная девка, в сущности говоря, терпима... Конечно, я говорю о сравнительной жестокости и хочу сказать то, что, перенеси эта девка операцию подкования, она стала бы жить калекой, как мужик с выжженными глазами. Так я говорю?

Вопрос был обращен к благоразумному старцу, точно желчный господин хотел выстрелить в него.

— Обнаковенно... — бормотал старец, напрасно стараясь проникнуть в скрытый подвох. — Темнота, вот что!

— А позвольте узнать, что вы называете темнотой? — прицепился желчный господин.

— Очень просто: когда человек неполированный... вообще...

— Понимаю. Только, по-моему, совершенно наоборот: полированный-то человек и вынет из вас душу. Про дело Миловзорова слышали? — обратился желчный господин уже ко всем. Ну, конечно, слышали... И в местной прессе было напечатано в качестве слуха. Дас... Только все это дело публике неизвестно вполне, а я могу его рассказать.

— Господин, позвольте! — азартно вступился благообразный старец. — Про этакое дело сторонним людям даже и разговаривать-то невозможно, потому как промежду мужа и жены один бог судья. Да-с... Это даже и в законе сказано... Ежели, например, девица не соблюла себя и вдруг под венец... Эго хоть кого касаемо, так не вытерпит. Таких-то в воде топить надо, вот что... Прямо будем говорить!

— Пет, уж извините! — закричал желчный господин, поправляя начинавший давить его ворот крахмальной сорочки. — Никакой зверь так-то не сделает, как ваш «прахтикованный» и полированный человек. Ужаснее всего то, что ваш Миловзоров ничего ужасного из своей особы не представляет: самый обыкновенный средний человек... да. Я его давно знаю... в карты даже играл не один раз... Совсем приличный и скромный человек. Хорошо-с... Так вот стукнуло Миловзорову сорок лет, и вздумал он жениться: есть свой небольшой капитальчик, есть место какого-то доверенного, ждать больше уж нечего, значит, остается жениться. Стал высмат-

ривать невест и нашел подходящую... Семья большая, девушка красивая и на возрасте, а приданого нет. В гимназии училась, а тут у родителей жила в каком-то заводе, где и женихов нет. Поговаривали про нее, что была какая-то у ней любовная история, и женихи обегали ее. Хорошо... Все это Миловзорову на руку, конечно, потому что не по любви же восемнадцатилетняя девушка пойдет за него. Присватался, девушка в слезы, а родители рады пристроить ее... Ну, поплакала, погоревала, а потом родные, конечно, уломали ее. Миловзоров радуется, что на склоне лет такую красоту заполучил. Скрутили свадьбу, гости разъехались, молодые остались одни... Что у них было — неизвестно, а известно то, что утром Миловзоров потребовал почтовых лошадей, выгнал жену буквально в одной рубашке и на дорогу дал заряженный револьвер, из которого посоветовал застрелиться. Она тут же в спальне и записку написала, что, мол, прошу в моей смерти никого не обвинять. Одним словом, все по форме... полированно... Вот и едет несчастная женщина неизвестно куда... Нет, она знает, куда едет,

потому что и записка написана и револьвер в руках. К родителям нельзя и носу показать, муж прогнал — одним словом, некуда ей идти, вот этой самой женщине с револьвером. Она виновата — это правда... Но, может быть, она надеялась, что муж ее простит, просто пожалеет ее молодость — мало ли на что надеется человек. И вдруг она видит, что ей в восемнадцать-то лет ничего, кроме смерти, не осталось. Будь она потерянная женщина, так она нашла бы утешителя, а тут другое: душу вынули из живого человека в одну ночь. Ведь Мило взоров не без греха прожил до сорока лет, а жене не мог простить... Сидит она с револьвером, колокольчики позванивают, звенит у ней в голове, и чувствует она, что кромешное зверство кругом: и тот человек, который обманул ее девичью неопытность, и молодой муж, и родители — все звери, один к одному. Целую станцию так-то она, бедная, ехала и все думала, а потом приехала на постоялый двор, забежала куда-то в конюшню и бац из револьвера. Только рука дрогнула — не насмерть первая пуля, пожалуй, еще оживешь, — она второй раз бац и в третий. Так и

кончилась...

— Сама виновата, — заключил седенький старец.

— Конечно, виновата, никто не спорит. А вот вы, например, не имеете греха на душе? Может быть, мы-то с вами в тысячу раз хуже ее, не может быть, наверное, и все-таки живем, потому что и сами озверели... Да. Ведь Миловзоров душу живую убил — и ничего; он служит на старом месте, его терпят, и, главное, он сам себя терпит. Даже больше, он считает себя правым, потому что и другие «прахтикованные» люди считают его таким. Он может спать, есть, пить, разговаривать с другими и даже, вероятно, женится в другой раз... Ведь такому зверству нет имени, нет меры?! Если бы он убил ее сам, так это по нашей жестокости еще понятно, как подкованная девка; но Миловзоров побоялся ответственности и довел несчастную восемнадцатилетнюю женщину до того, что она сама себя убила. Людоеды покажутся младенцами перед таким полированным человеком...

На перевале

(Из осенних мотивов)

I

Первый иней, от которого «закисает» лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения — очень редко, дальше к северу. Старинное дерево, эта лиственница: высокое, ветвистое, чуть посыпанное своей бледной и мягкой хвоей. По крепости оно тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый, сиротский вид и широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на оленьи рога. Южнее эти деревья отличаются стройностью и достигают громад-

ной величины. Так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубили столб в 36 аршин длины и 12 вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южноуральской растительности.

Итак, первый иней пал, и в садах лиственницы начинают желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове «охота» вы уже чувствуете что-то такое доброе и освежающее... Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбованные уголки, куда его непременно тянет, в известное время вы его найдете на своем посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на свое место. У меня таким любимым местом служит осенью так называемый «перевал» — это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач, на тридцать верст никакого жилья, и в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю на-

питься и собрать необходимые сведения от Ивана Васильича, местного сторожа, который проживает здесь «по обязанностям службы».

Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым сибирским трактом, а потом повертха на глухой лесоворный проселок. Вы едете покосами, через мелкие лесные островки, по длинным еланям через болота, и опять островки, покосы и леса, уже настоящий лес, который, чем дальше от города, тем выше. Город — величайший враг лесу, и близость этого врага вы чувствуете издалека: лучшие деревья срублены, на земле валяется мертвый хворост, молодым деревьям не дают подрасти в настоящую мэру. Но чем дальше от города, тем легче и привольнее дышится, и травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон «на половинке», за ним чернеет смолокурня, где «гонят» деготь и смолу, еще дальше мелькают уже одни поленницы дров, сложенные в стороне полусаженками и осминниками. Подъема в гору вы почти не замечаете, а между тем экипаж на самой вершине водораздела. Вот и послед-

няя болотистая речонка, которая сбегает в Исеть, за ней довольно крутой увал, за ним уже западный склон Урала. Собственно, гор здесь совсем нет, и самый перевал незаметен.

В последний раз я поднимался на водораздел в такой хороший осенний день, обещавший удачную охоту. Когда экипаж очутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком серой блестящей полосой глянуло Глухое озеро, одно из той озерной цепи, которая залегла между верховьями рек Исети и Чусовой.

— Вот мы и в Расею заехали, — проговорил кучер Гагара, оборачивая ко мне свое «шадривое» красное лицо с плутоватыми, разномастными глазами. — Веда уже на Волгу отседа пошла... расейская вода...

Придерживая бойкую пристяжку, Гагара ловко спустился в крутой ложок, подтянул коренника и с ямщицким шиком подкатил на угор, где среди пихт и елец прятался кордон.

Очень красивое место-, этот кордон, и только недостает какой-нибудь пустыньки или монастырька, чтобы оживить его. С высокого берега открывался просторный вид на

все озеро, разлегшееся среди невысоких лесистых увалов. В глубине, в камышах, спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Чусовой. Вот и собака Юлка выбежала с громким лаем навстречу нам, а в двух избушках показались любопытные лица — в одной обитал сам Иван Васильич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай: когда лесничий заедет, когда охотники, когда так кто-нибудь завернет.

— Вот и монашины... — говорил Гагара, осаживая пару у ворот. — Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильича важнецкая изба для проезжающих налажена, ну, монашины недели по три здесь выживают. Юлка, не узнала гостей?..

Собака в последний раз брехнула на лошадей и ласково завиляла хвостом. В окне избы «для проживающих» мелькнуло два темных монашеских платка. Ворота скрипнули, и показался сам Иван Васильич в своих неизменных резиновых калошах, в темных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит

от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор.

— Хозяину... — здоровался Гагара с развязностью городского кучера. — Опять к тебе в гости, Иван Васильич.

— Милости просим... Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж ко мне пожалуйте в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете напиться?

— Да, я думаю, что так будет лучше.

— Конечно, для вас это гораздо любопытнее. Ушку можно заварить...

У Ивана Васильича все делалось как-то само собой — и самовар вовремя будет готов, и ушка поспеет. Свой же парень съездит посмотреть в исток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков, а хозяйка оборудует самовар.

— А как глухари? — спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги.

— Глухари-с? Они свое дело в лучшем виде знают... Вчера двух спугнул по дороге к Кочкам. Тут есть ложок, а над ним этак осинничек пойдет, листьяночки — аккуратное место.

Как раз только чайку напьетесь — тут и самое ваше занятие... Юлка орудует в лучшем виде.

— На дерево бросается?

— Сначала кидалась, а потом я ее отвадил... Тоже понимает, стерва. Сядет под дерево и брешет, а он, глухарь, на нее сверху: ту-ту-ту!.. Ну, и разговаривают. Даже смешно в другой раз слушать. А вы в самый момент приехали — теперь глухарь на чику...

Мы сидели на берегу под густой старой пихтой и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгуливала осенняя волна, сосавшая берег и с шипением уходившая в качавшуюся полосу жесткого ситника. Странное это время, осень! И погода ясная, и солнце светит, а вас так и сосет какая-то грустная, сиротская нотка! Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звездных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонек на открытом воздухе, и дым уже не стелется по земле, как в ту манную летнюю ночь, а вьется столбом прямо в небо. Гагара устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху.

Юлка сидит невдалеке и ждет своей доли в общей трапезе.

— Ты луковку-то не торопись спущать, — советует Иван Васильич тоном специалиста. — Размокнет, как тряпица, какой в ней толк, а надо в плепорцию.

— Нет, ничего... Главное, спокойно. Летом я, как Осман-паша[294] в неприступной Плевне, сижу: кругом болота, а дорога одна в Кочки. Лесоворам нечего делать, ну и отдыхаешь. Верст на сорок мой-то участок растянулся, и не углядел бы, если бы не болото.

Военные сравнения у Ивана Васильича провертываются часто: он сделал последнюю русско-турецкую кампанию и фельдфебелем какой-то стрелковой роты переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту «обязанность», потом служил урядником, — помилуйте, ни днем, ни ночью нет покоя, а народ какой здесь — того смотри, что голову оторвут, а у Ивана Васильича семья. Пензенский уроженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие: дома нечего делать, а здешние места захвалили. Оно дей-

ствительно, места обширные, и жить можно, да народ, сказать правду, варнак. Сердце Ивана Васильича возмущалось убойными сибирскими нравами.

II

Мы идем по лесу. Под ногами хрустят сучки. Трава совсем сухая. Иван Васильич шагает в своих резиновых калошах и несет длинного «туляка» (ружье) на плече, точно по команде «ружья вольно!» Юлка суетливо шныряет между деревьями, и я по лицу Ивана Васильича вижу, что он доволен собакой, которая «забирает верхним чутьем» и нейдет глухариными подъедями и кормежками. Вот и ложок и покрасневший от мороза осинник с своей яркой, точно ситцевой листвой — даже есть те линючие тона, какие производит московская мануфактура.

— Конечно, жалованье маловато, на пятнадцать рублей не много расширишься... — говорит Иван Васильич и останавливается, как вкопанный: Юлка брехнула на птицу, и глухарь забормотал на нее.

Это момент самый интересный на охоте: так и встрепенешься весь. Солнце уже село,

но в лесу еще светло, и деревья отчетливо вырезываются своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильич предоставляет мне добычу, и я уже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от этого дерева, но подойти ближе нельзя: чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так и хрустят под ногами.

Останавливаюсь и перевожу дыхание. Слышно, как бьется сердце. Еще несколько шагов — и добыча будет в роковом круге «поля поражения». Немного больше ста шагов, но винтовка Лебоди возьмет и дальше. Сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря — он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой. Вот пауза, нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочет. В это время он не слышит выстрелов, и можно из малокалиберной винтовки «отвесить» по нем раз десять. Вот опять бормотание, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею по сучку, — значит, пуля пронесла верхом.

Второй выстрел заставил его подскочить — пуля обнизила. Обыкновенно в таких случаях глухарь улетает, но этот непуганый и после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел, и птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплавилась под пролеском и исчезла. Слышно, как Юлка заливается, но это уже не торжествующий, осмысленный лай, а просто собачий азарт: она потеряла птицу. Ужасно досадно, и я в утешение себе рассматриваю свою винтовку: что с ней такое случилось?

— По сучку шлепнулась пулька-то... — за спиной у меня говорит неслышно подошедший Иван Васильич, — Теперь самый обманчивый свет: своя прицелка... Я вот к своему туляку вполне привесился и шагов на пятьдесят так шарахну, что даже сам удивляешься в другой раз.

Мы пошли дальше. Юлка затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зайчонок, и Юлка бросилась за ним с особым завыванием, которое знакомо всем охотникам.

— Ах, проклятая!.. — ругался Иван Васильич, бросаясь в погоню за неверным псом. — Вот каждый раз так... Поймает и съест, подлая!.. Юлка-а! Я тебя, шельма-а!..

Тени сгущаются. Большие деревья трудно просмотреть, но на мое счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти, — приходится пользоваться только его бормотанием, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, еще в ширф попадешь куда-нибудь... Подхожу на приличную дистанцию, начинаю выцеливать — плохо видно. Стреляю наугад, и глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул «туляк» Ивана Васильича. «Этот не промахнется», — думаю я, огорченный собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильич и волокет за крыло убитую птицу.

— Агроматный мешок... — говорит он, останавливаясь. — Бегу за Юлкой, а он на меня сверху как забормочет... ей-бо-гу!.. Вот какая повадка... Ну, я его и положил: так комом и свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь... Юлки не видали?.. Вот, я вам скажу, бывает же такая несообразная тва-

рина...

Мы возвращаемся. Охота кончена. В темноте дорога кажется длиннее. Но вон и знакомая пихта — мы дома. Огонь догорает. В «брусничном монастыре» теплится слабый огонек, и какая-то темная фигура стоит перед иконой в переднем углу.

— С полем! — кричит Гагара, наметавшийся с охотниками.

Юлка, уж дома. Заметив нас, она поджала хвост и виновато ползет по траве к пылающему гневом хозяину, который прописывает ей встрепку и читает наставления. Юлка визжит больше для приличия и облизывается — она хорошо закусила.

Выплывший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и, греясь около огонька, гуторим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть в лесу и поболтать с бывалым человеком. Иван Васильич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагара потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлебку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина в накинутой на плечи шубейке.

— Я вот часто так-то выйду на бережок, — повествует Иван Васильич, не торопясь, — и раздумаюсь... Ведь какое здесь место: настоящая грань. Одной ногой в Расее, другой — в Сибири. Да... Самое глухое место. Вон туда, к Чусовой, и дороги больше никакой нет: доехал до Кочек и ступай назад... Вон какое место...

— А зимой волки у вас бывают здесь?

— Нет, мало... С озера разве какой шальной забредет, а вот лесоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога... Как начнут подчаливать в город бревна, тут держись только, а отвечать должен за всю дачу все я же. Она, милая, вон какая, дача-то: больше пятидесяти квадратных верст. Лесничий проехал, увидал свежую порубь... Настоящее военное положение, а одному-то не разорваться. Под Плевной лучше было: там все-таки не один.

Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу «на брезгу», то есть когда только начнет свет заниматься, а поэтому мы и залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильича было очень чисто, и старой ситцевой

занавеской она делилась на две половины: в одной спал он с женой, а в другой расположился я. На полатях давно уже спал мальчик лег двенадцати. Городская привычка ложиться поздно сказалась и здесь — я долго ворочался с боку на бок, прежде чем мог заснуть. Даже это был и не сон, а какое-то полузабытье. Помню, как я опять «скрадывал» глухаря и как взлаивала Юлка, а потом сквозь сон в ухо лез какой-то бабий шепот:

— Разбуди, Аннушка, Ивана-то Васильича... ради истинного Христа!

— Да, может, поблазнило, сестрица?

— Нет, голубушка... Сначала этак мелькнуло будто на полянке, и Юлка брехнула, а сестра Агнеса и видит в окошко: он к стеклу-то и припал... Мы так и ужаснулись все, а сестра Платонида и говорит: «Это, может, — говорит, — ихний, городской кучер...» А Юлка, нет-нет, и взлает, ну, а потом он опять к нашему окошку присунулся. Мы все видим, а никто слова молвить не может.

— Ихний-то кучер в повозке спит...

— Этот с бородой, а кучер безбородый. Ну, сестра Агнеса и послала к вам. Непременно,

говорит, добудись...

Открываю глаза. Изба чуть освещена лунным светом, хозяйка в приотворенную дверь шепчется с невидимой монашиной, как я начинаю догадываться.

— Что такое случилось? — спрашиваю я.

— Да так... пустяки... — отвечает хозяйка. — Вот монашкам поблазнило, будто какой человек к емя в окошко смотрел... А кому здесь омотреть-то? Мы и ворота сроду не записывали.

— Побуди Ивана-то Васильича-то... — просит голос.

— И то разбудить.

Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку.

— А?.. Что?.. Мм... — мычит впросонье Иван Васильевич. Отстань, пожалста... умереть не дадут... Брусники наелись монашины, вот и увидали человека. Отстань.

В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелое шушуканье:

— Матушка моя, сидит... Своем глазом по-

глядите: у огонька сидит!.. Ох, до смертушки мы все перепугались...

— Да, может, кучер ихний сидит?

— Ох, нет... С бородой мужчина...

Это был уже весь «брусничный монастырь», столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильич в одной рубахе выглянул в окошко и проговорил:

— И то кто-то сидит, леший его задери...

Во дворе, заслышав суматоху, Юлка выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильич, не торопясь, оделся. Я последовал его примеру.

— Разбудите Гагару... — шепотрм приказывал он жене... — Мы его изловим, каналью... Вот еще притча какая...

— Да, может, он не один? — боязливо шептала хозяйка. — Как ножом полыхнет — вот и вся тут...

— Ну, ну, полыхнет... Не твоего ума дело!..

Иван Васильич опять выглянул в окошко: нет, сидит он у самого пепелища... Уж не оборотень ли какой?

III

Мы устроили настоящую засаду: я занял

ответственный пост у ворот, Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление, Иван Васильич перелез через забор прямо в лес и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлка неистовствовала у ворот, монахини заперлись в избе на крючок, а он продолжал сидеть у едва тлевшего огонька и преспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. В приотворенную калитку я видел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист, и мы открыли наступление. Первой бросилась на приступ Юлка.

— Эй, кто есть, жив человек, сдавайся!.. — кричал Иван Васильич, показываясь из лесу с ружьем в руках.

Молчание. Одна Юлка с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня и раза два, кажется, успела хватить зубом.

— Да ты умер, что ли? — слышится недоумевающий голос Ивана Васильича. — Сдавайся!

Мы с трех сторон подходим к огню, и Иван Васильич схватывает незнакомца полицейским приемом — за плечи сзади.

— Кто таков человек?

— Живой человек... — отвечает наконец незнакомец слабым, охрипшим голосом.

— Откуда взялся?

— Из лесу...

— Как зовут?..

— Косач... птица... бруснику ел, лиственъ ел, мох ел — и вышел косач.

— Видим, что птица... — спокойно говорит Иван Васильич. — Бродяга?..

— Около того... Говорят тебе: косач.

— Зачем ночью подходишь, дьявол? А как я бы да тебя хлобыснул пулей...

— И стреляй... Сбился с дороги... отощал... три дня хвою да грибы ел... Вот огня не было, ноги не держат...

— От артели отстал?..

— От артели... боялся днем-то подойти...

Пленный был приведен в избу. При огне он оказался тщедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым, испитым лицом. Один глаз вытек, а на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заношенной рубахи, пестрядинных портов и какого-то отрепья на плечах. Войдя в избу, он

перекрестился и проговорил:

— Дайте поись... смертушка пришла...

— Ну и зверя залобовали! — качал головой Иван Васильич, делая знак жене.

Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул было руку к своим дорожным запасам, но Ивзн Васильич остановил меня:

— Не нужно... Очень уж сердяга отощал, не стерпит настоящей еды. Отвык от хлеба-то...

Столпившиеся у дверей монахини смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления. Слышались вздохи.

— Дальний будешь, миленький? — осмелилась наконец спросить одна из сестер.

— Дальние, голубушка... из-под Иркутскова... — быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. — Отощал... из сил выбился.

— Господи, батюшка!.. — слышался благочестивый шепот.

— Ну, куда я теперь с тобой, косач? — спрашивал Иван Васильич, расхаживая по комна-

те. — Ну, куда?.. Шел бы своей дорогой... Вот не угодно ли! — обратился Иван Васильич уже ко мне. — Я же его и представляй в город... Это значит — тридцать верст вперед да тридцать верст назад. Нет, спасибо, голубчик... Это уж третий так-то ко мне навязывается: отобьется от артели, и вези его в город. У них, у бродяг, тракт по реке Исеги, а потом через горы перевалом: на реку Чусовую идут — старинный тракт. Верстах в двадцати от кордона ихняя бродяжья тропа. В лето-то, может, тысячи три человек пройдет: все в Расею, значит, обращаются... Ох-хо-хо!.. Когда урядником был, так до смерти, бывало, надоедят эти бродяги, особливо по осени, когда холодом их в горах достигнет. Артелями приходили: предоставь по начальству. Это они зимовать в острог просятся... И вот все такие орлы! Ну, что с ним поделаешь, с косачом?..

— Заплутался... — точно про себя говорил бродяга. — Отощал... все думал — выйду на дорогу, а самого уж вторые сутки мутит... с голоду мутит...

— Чем же ты кормился? — спрашивает сестра побойчее.

— Саранку копал да ел... медвежью дудку, бруснику... огня не было, вот главная причина... Иззяб весь, ноги избил, отощал...

— Вот что, сестрицы, идите-ка с богом спать, — предложил Иван Васильич, позевывая. — Утро вечера мудренее.

Монашки придвинулись к двери и зашептались., — Боятся оне... — объяснила хозяйка. — Может, он не один: и отворит ночью ворота товарищам, всех и укокошат. Тоже бывали случаи...

— Пустяки!.. Идите, сестрицы, а для острастки Юлку возьмите...

Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу, хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильич продолжал ходить по избе и думал вслух:

— Ежели отпустить его, — пристанодержателем назовут...

В город везти — одна маята. Ну и задал же задачу... А?.. Ты вот что, косач, как мы уснем, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал... Не укараулили — и вся недолга.

— Нет уж, будь милостив, предоставь в острог...

— Ах, какой человек навязался! Охота мне тащиться тридцать верст да там по разным мытарствам ходить... Право, ночью и уходи своей дорогой.

— Не могу... обезножил... силы нет...

Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться.

— Вы меня свяжите, а сами ложитесь спать... — предложил он нейтральную меру.

— Чего тебя вязать... Ах, ты, притча какая!.. Тебе бы только вон там по-за горой левее взять — тут сейчас и тропа выйдет. Все равно, перезимуешь в остроге и опять убежишь...

— Убегу...

— Ну, так по этой же дороге придется идти, притча этакая?..

— Нет, уж предоставь по начальству.

Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, сбившиеся в кошму, и песочного цвета борода не были еще тронуты сединой. Но это лицо мне навсегда запало в память; худое, изможденное, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным гла-

зом. Бродяга — это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст куска хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу, по волостным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых, но «косач» положительно выдавался своей отчаянной беспомощностью, голодным видом и упорным желанием попасть непременно в острог. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину, — даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу... Косач — и все тут... Звери и птица живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких не помнящих родства бродяг тысячи. Нет, жизнь положительно — страшная вещь.

Утром рано мы возвращались в город. За

моим экипажем на телеге ехал Иван Васильич, а рядом с ним сидел косач. Он проспал в избе, не связанный, и выглядел при дневном свете еще несчастнее. Иван Васильич имел сосредоточенный, почти сердитый вид.

— Привезешь его в город, а там своим бродягам не рады, — ворчал он, усаживаясь в телегу. — Еще обругают, зачем привез...

Утро выдалось пасмурное. Начинал накрапывать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц — это уже окончательно взволновало Ивана Васильича, и он сердито начал отплевываться.

Не у дел

I

— Видели Марзака... — торжественно заявлял наш кучер, Яков, неподвижный и вялый хохол.

— Где видели?

— А по улице иде, пранци его батьке...

— Что же, его задержали, Марзака?..

— А зачем его держать: сам приде ночью у кабак — там и словимо.

— А если не придет?

— Приде... Куда вин денется, пранцеватый?..

При последнем слове Яков лениво улыбался, раскуривал трубочку и делал необходимые приготовления к предстоящей ночью баталии, то есть лез на печь и доставал чугунный пест от ступки — единственное оборонительное и наступательное оружие в нашем доме. Хохлацкое спокойствие производило на нас, детей, импонирующее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым ртом, как на героя: Яков будет ловить разбойника Марзака; Яков побежит в кабак с чугунным пестом

в руках по первому удару набатного колокола крепостной заводской конторы; Яков будет вязать веревкой Марзака, и т. д.

— Яков, а тебе не страшно? — приставали мы к нему. Ведь Марзак с ножом...

— Нехай с ножом...

— Он тебя зарежет...

— А пест?

Мы, дети, страшно волновались и выслеживали каждый шаг Якова до того момента, когда нас отправили спать. Волновались и большие, хотя эта история повторялась через известные промежутки не один раз. Всего более смущала уверенность, что Марзак должен прийти именно в кабак и никуда больше. В этой мысли было что-то роковое, неизбежное, как сама судьба, и фатализм положения пугал одинаково как больших, так и маленьких. В Марзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, не укладывавшаяся в тесные рамки заурядного прозябания.

Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно стучала какая-то невидимая, таинственная рука. Кучер Яков, не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептался, а по-

том возвращался в кухню и упорно молчал.

— Из конторы сотник приходил... — объясняла нам кухарка под величайшим секретом. — Народ сбивают... Легкое место сказать: одного человека пымать!.. тьфу!..

В кухарке сказывалось смутное сочувствие к геройству Марзака, и она любила рассказывать, как этот разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, как его ловили, заковывали в кандалы, драли в «машинной», а потом увозили в Верхотурье, в острог. Марзак сидел несколько времени, а потом уходил и непременно возвращался опять к нам, на Шайтанский завод. Раз ушел он из острога зимой в одной рубахе; босой, и ничего, остался жив. Вообще получался легендарный человек, который умел заговаривать даже пули конвойных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припоминались именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом думаешь о «машинной», где наказывали за всякую крепостную провинность розгами, о верхотурском остроге, о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой Марзак, и дет-

ское сердце сжимается от ужаса. И жаль делается, и страшно, и какое-то тяжелое чувство поднимается в душе против неизвестного, расплывающегося в детском воображении зла. Приказчик Завертнев, на которого Марзак бросался с ножом, часто бывает в нашем доме, он такой веселый, добрый человек. И его тоже жаль... Зачем Марзак хотел зарезать этого Завертнева? В ушах даже поднимается звон кандалов, в которых мы видали Марзака не раз... Да и вот сейчас этот самый Марзак идет с ножом к кабаку, где его будут ловить... Детское сердце замирало от страха, и ухо старалось поймать малейший шорох.

Действие начиналось обыкновенно ночью.

Прежде всего повторялся таинственный стук в калитку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал из кухни не менее таинственно. Наступала зловещая тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала и вполголоса начинала причитать:

— Микола милостивый... О-ох, согрешили мы, грешные!..

Делалось вообще ужасно страшно, так что для безопасности забираешься под одеяло с

головой и даже затыкаешь уши, точно хотят ловить не Марзака, а тебя, такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло не спасает: ухо ловит осторожный топот торопливых шагов под окнами... Вот во весь опор пронеслась лошадь... От нашего дома до кабака всего сотни две шагов: подняться в гору, повернуть налево, и сейчас под горой, на берегу горной речонки Шайтанки стоит кабак. Из заводской конторы и господского дома, где жил приказчик, нужно идти мимо нашего дома, и по звуку шагов догадываешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадочным звоном.

— Матушка, Казанская богородица... Помилуй нас! — уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят дешевые бабьи слезы. — Микола милостивый... угодники бессребреники...

Такой набат возвещал, что Марзак в кабаке. На улице поднимался громкий топот бегущих — теперь уже никто не бережется. Народ бежал из фабрики и с Заречного конца. А колокол все звонит частыми смешанными уда-

рами, точно пульс лихорадочного больного... Потом все сразу замирает — и колокол, и бегущие шаги, и конский топот, но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего шума, и чувствуешь, как отзванивает набат в груди — собственное сердце, а в висках тяжело шумит кровь. Все чувства напрягаются до последней степени. Не слышно даже причитаний кухарки, которая тоже насторожилась, как птица. «Господи, что же будет: поймают Марзака или он кого-нибудь зарежет и уйдет?..» Точно в ответ, где-то там, под землей, глухо проносится смутный гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий плач; по улице проходит целая толпа народа: это ведут в «машинную» пойманного Марзака.

— Ну что? — спрашивает отец, когда Яков возвращается.

— А пымали... и нож у сапоге, во який нож, — объясняет Яков, охваченный лихорадкой совершенного подвига. — Мы его у кабаке узяли... Подходим: седит, постучали у дверь: седит, вошли: седит...

— То-то, поди, напугали мужика, аники-во-

ины, — язвит кухарка. — Легкое место, всей-то ордой на одного человека навалились. Избили почти насмерть?..

— А як же?.. Вин с ножом...

Кухарка что-то ворчит себе под нос, Яков выкуривает для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает, как засыпает и сам Марзак в «машинной». Всю ночь гремит одна фабрика да дымят без конца высокие трубы, рассыпая снопы красных искр.

Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежьих углов, которые редко попадаются даже на Урале. Он залег своими бревенчатыми избами по западному склону горного кряжа и в описываемое нами время (конец пятидесятых годов) едва имел две тысячи населения, сосланного сюда с разных сторон, основанием служили раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, пригнанных из России. Наш кучер Яков был «пригнанный» хохол, а Марзак — туляк. Характерной особенностью крепостного нрава на заводах было то, что в это время создался контингент крепостных-беглых и крепостных-дураков. Бегал кержак Савка, потом хохол Окулко

и Беспалый, но всех их выше по цельности типа стоял Марзак. По крайней мере, в нашем детском воображении он сложился в сказочного героя, которого не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря уже о «машинной» и своих заводских торгах. Всего сильнее действовал на воображение открытый характер его действия. Втайне все население сочувствовало ему, как живому протесту против жестоких заводских порядков, тем более, что Марзак никому, кроме заводских властей, никакого зла не делал.

Пойманный Марзак запирался в «машинную», то есть теплое помещение для пожарных машин, где жили заводские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, и, проходя мимо заводской конторы, можно было частенько слышать отчаянные вопли истязуемых в «машинной». Самое здание конторы уже имело в себе казенный внушительный вид; низенький, рассевшийся на две половины дом с высоким мезонином и белыми колоннами выстроен был в казарменно-классическом стиле времен Аракчеева и стоял «в самом горле», как говорили рабочие, то есть в

конце плотины, так что всякий должен был проехать мимо этой конторы — другой дороги не было. Мы, дети, относились с каким-то особенным уважением к этому таинственному месту, и только желание посмотреть на знаменитого разбойника Марзака побороло спасительное чувство страха. Помню, как под предводительством нашего кучера Якова мы отправились туда в первый раз прямо под белые колонны, где шел сквозной коридор с улицы на двор. Несколько кучеров, «отвечавших» и по заплечным делам, встретили Якова, как своего: русские кучера отличаются необыкновенной общительностью и братскими чувствами.

— А мы до Марзака... — равнодушно объяснял Яков, показывая на нас движением головы.

Нас повели через дверь к низенькому бревенчатому зданию, которое по наружному виду решительно ничего страшного не представляло; обыкновенный каретник, и только распашные двери были обиты кошмой. Это и была «машинная». Когда дверь растворилась, на нас пахнуло совсем хозяйственным возду-

хом: пахло дегтем, кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. В «машинной» стояла полутьма, и глазу необходимо было к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, глядело, как единственный глаз.

— Эй, Федя... — осторожно окликнул один из кучеров, заглядывая в решетчатое оконце.

Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, и у оконца показалось красное лицо Марзака.

— Дайте табаку на цигарку... — как-то равнодушно попросил голос из-за решетки.

Наше любопытство было вполне удовлетворено: Марзак оказался настоящим разбойником — в кандалах, в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, а другой отсутствовал.

Через несколько дней, после приличной домашней экзекуции, его увозили в Верхотурье. Картина получалась самая импонирующая: Марзак сидит в телеге в своей кумачной рубахе, без шапки и, по старозаветному раз-

бойничьему обычаю, истово раскланивается на все четыре стороны. Помню до мельчайших подробностей эту большую угловатую голову, на которой при каждом поклоне трепалась волна русых шелковых кудрей. Сотни народа бегут за телегой, а Марзак все кланяется, пока его красная рубаха, точно кровавое пятно, не исчезла на повороте к роковому кабаку. местился, — водолив уступил половину своей каютки, и это представляло громадные удобства. Отвал каравана с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием наблюдал суетившуюся на берегу толпу. Весной на Чусовой набирается до 20 тысяч пришлого «чужестранного» народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних губерний, а осенью работают все свои пристанские или с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки из заводских шли самые оголтелые и замотавшиеся рабочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с заводчиной, и получилась самая пестрая бытовая картина. Меня интересовал не самый сплав, который осенью ничего особенного для нас, уральцев, не пред-

ставлял, а только бурлаки.

— Да не варнаки ли... а?.. — орал водолив, который метался по полубарку во время отвала с таким азартом, точно нас осадил неприятель. — Куда прете?.. Эй, бабенки, вы у меня смотрите... Ну и народец... а?!

Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно отделилась от берега.

— Шапки долой! — скомандовал сплавщик.

Головы обнажились. Посыпались торопливые кресты. В этот момент с берега из толпы вынырнул высокий мужик с котомкой за плечами, догнал медленно двигавшуюся барку и при помощи легонького шестика ловко перепрыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то легко сделать: мужик ухватился одной рукой за канат и замер.

— Не тронь... — спокойно заметил он, не обращая внимания на пинки водолива.

— Эй, Данилыч, отвяжись, — окликнул водолива сплавщик. — Разве ослеп...

Бурлаки сначала захохотали, счастливые даровым представлением, а потом смолкли и зашептались.

Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпиравшие реку разорванной линией чередовавшихся скал; показывались и быстро прятались глухие лесные деревеньки; прошумел первый перебор, где река, сдавленная камнями, неслась с шумом и ревом оперенными белой пеленой майданами[295], точно в тесноте бежало стадо белых овец; хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху из-за диких скал, и наконец медленно и настойчиво пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где водолив Данилыч уже «смастачил» чай. Я нашел своего сожителя в полном отчаянии.

— Это не барка, а острог... — ругался Данилыч, обрадовавшись случаю поделиться своим горем. — Разбой, одно слово.

— Да что такое случилось?

— А Федька?.. Зарежет он нас всех...

— Какой Федька?..

— А Марзак? Ну, еще даве на шестоке на барку перескочил; разбойник и есть разбойник...

Я не узнал героя своих детских воспоминаний и не мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако, ничего не оказалось. Федька, как ни в чем не бывало, стоял подгубщиком у поносного [296] и ворочал его, как матерый медведь. Картина бурлаков, работавших под дождем, была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик любовно смотрел на него, когда он «срывал» тяжелое поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему сплавщик заступился за Федьку, когда расстервенившийся Данилыч хотел столкнуть его в воду.

Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде заводчины. Чусовляне были, как у себя дома, а заводские, привыкшие к своей огненной или куренной работе, выглядели чу-

жими, непривычными людьми. Исключение представлял один Марзак, видимо, ломавший не первый караван по Чусовой. В течение двух недель я внимательно присматривался к оригинальной бурлацкой артели, которая сложилась так же быстро, как и все другие мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, которое меня всегда занимало: в течение нескольких часов сложилось твердое и бесповоротное общественное мнение, и каждому отведено было надлежащее место. Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, и вся барка представляла собою один организм с тонким распределением ролей, обязанностей и разных возможностей. И разбойник Марзак сразу занял свое особенное место: он не принимал никакого участия в бурлацком галденье, мелких ссорах и ругани, точно не замечал ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому-нибудь экстренному случаю, — села барка на мель, подрались бабы, — мнение бурлацкого круга, его голос имел решающее значение. Высказывал свою мысль Федька коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдумано и взвеше-

но.

— Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит!.. — говорили про него бурлаки. — Такой уродился.

Ростом Марзак был невелик, но широк в плечах и, как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же красное, и все те же русые кудри шапкой стояли на угловатой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрюмое выражение. Одет он был, как и все: синяя пестрядинная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, шапка в форме вороньего гнезда, и все тут. Разбойничьей красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он точно снял и свое обаяние, как разбойник. Оставалась известная авторитетность человека, привыкшего к опасностям, сказывался сильный, властный характер, но через эти остатки сквозила какая-то усталость, вернее сказать, грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл свою роль и остался не у дел.

Однажды вечером мы затащили его в свой балаган напиться чаю. Он принял приглашение довольно непринужденно и так же

непринужденно разговорился.

— Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпутался? — спрашивал сплавщик, любивший поболтать с хорошим человеком.

— А как волю объявили, ну, я в те поры в бегах состоял, — спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону. — Ну, вижу, пошло уже совсем другое... Втроем мы тогда и объявились в Верхотурье по начальству: я, Савка и Беспалый. Так и так, мы, мол, самые и есть. Ну, нас судить, в острог, а у нас свое на уме. Таскали, таскали нас по судам...

— А вы, значит, свое: знать ничего не знаю, ведать не ведаю?..

— Знамо дело... Ну, надоело начальству, и выпустили в подозрении.

— Это по старым судам даже весьма много было... Главная причина, что вот бегать незачем стало: все вольные., — Мы свою-то волю раньше получили... по-волчьему... — Марзак оказался разговорчивым человеком и рассказывал о себе, как о постороннем: дело прошлое, нечего таиться, а что было, то было.

— Чем же ты теперь занимаешься? — спрашивал я его.

— А разное... Вот на сплав ухожу, потом на золотые промыслы. Работы после нас еще останется... Не прежняя пора: палкой на работу гоняли, да всякий над тобой же галеганится.

— А бывает тебе скучно иногда?

Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взглянул на меня своим единственным глазом, тряхнул головой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое больное место.

—, Не в людях человек — вот какое мое дело, — ответил после длинной паузы Марзак. — Добрые люди как на зверя смотрят... имя-то осталось... Раньше-то хоть волком ходил, а теперь и этого не стало.

Биография Марзака оказалась несложной. Родился и вырос он в Шайтанском заводе, а подростком уже работал на фабрике в кричной. Тяжелая огненная работа Марзаку была нипочем, но стал поперек горла один крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба между безгласным рабочим и микроскопическим начальством, выбившимся разными неправдами из простой рабочей среды:

давил такой же рабочий.

Дело кончилось тем, что ни в чем неповинного Марзака отвели в «машинную» и прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоящая порка, кандалы и верхотурский острог, где Марзак закончил круг своего образования в обществе Савки и Беспалого. С ними он ушел из острога и под их руководством быстро прошел весь опытный курс бродяжничества. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении заводской почты и в других шалостях, направленных против заводского начальства. —

— Зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда? — удивился водолив Данилыч, успевший примириться с разбойником.

— Когда в бегах состоял?

— Ну, когда бегал... Захаживал и к нам на пристань, как же. Ну, и бегал бы по лесу, а то нет, надо в кабак... Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то заразу, и сейчас ловить.

Марзак посмотрел на Данилыча и рассмеялся; это было в первый раз, что он развесе-

лился.

— А ведь я и сам то же самое думал, Данилыч, — ответил он, встряхивая кудрявой головой. — Знаю, что поймают, а иду... Точно вот кто меня толкает. Намерзнешься в лесу. — то, наголодаешься, истомишься, оно и тянет в теплое место...

— Ах ты какой, Федя! Ну, послал кого за водкой — и вся тут.

— Ну, нет... Тут дело особенное: как увидали тебя на улице, значит, быть Федьке в кабаке. Да... Знаешь, что ждут уж тебя, будут ловить, ну вот поэтому по самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого... Не одинова уходил из кабака-то целёшенек, потому как все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику... Нельзя не прийти.

В Перми мы расстались. Марзак дружелюбно мотнул мне головой и зашагал с толпой бурлаков.

— Ты куда это? — спрашивал я его на прощание.

— А вон... — указал он на ближайшую кабацкую вывеску.

— В кабак?

— По нашему положению некуда больше.

III

В последний раз в Шайтанском заводе я был в восьмидесятых годах. Завод значительно увеличился, появилось много новых построек, но из старых, знакомых, дорогих по детским воспоминаниям, оставалось уже мало. Народилось и выросло молодое, незнакомое поколение, и успели сложиться уже некоторые новые формы заводского быта. Так окончательно вымер контингент дураков и дурочек. Вместо одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли целых пять питейных заведений. Да, много было нового, и в душе поднималось невольное старческое чувство, то особенное чувство, когда вас охватывают беспричинная грусть и беспокойные размышления о суете сует.

Поздним летним вечером, когда благочестивые люди улеглись спать, ко мне в квартиру завернул знакомый заводский служащий сообщить, что сейчас поймали двух бродяг и отвели их в волость.

— Разве есть опять беглые? — удивился я.

— Нет, не свои, а чужестранные, — объяс-

нил служащий. — Надо полагать, сбились с дороги, поплутали-поплутали по горам, ну и зашли в жило[297], а их здесь и накрыли. У них свой тракт: по реке Исети, а потом на Чусовую.

Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отправились в волостное правление, до которого было десять шагов.

По заводам волости щеголяют своим приличным видом и даже богатством. Так, шайтанское волостное правление помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном на «пропойные деньги», то есть на те тысячи рублей, какие выплачивались обществу кабатчиками за разрешение открыть в заводе известное число заведений. Во втором этаже брезжил еще огонек, и запоздавший над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным и сердитым лицом.

— Бродяги, известно, бродяги и есть... — ворчал он, зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний этаж, где помещался «карц». — Невидаль какую нашли...

Мы спустились в какой-то коридор, где пахло официальной вонью всех кутузок, хо-

лодных и всяких других узилищ.

— Варнаки какие-то, — уже добродушно объяснял писарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную дверь с решетчатым оконцем. — Эй, Федя, где у тебя ключ?..

Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, и из темноты выступила плечистая фигура каморника, пошатывавшегося спросонья. Повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась.

— Эй вы, голуби... покажитесь! — командовал писарь, поднимая свечу кверху. — Один назвался «Не поминай лихом», а другой «Постой-ка». — Ну, пошевеливайтесь, господа, не помнящие родства... Который «Постой-ка»-то?..

— Я, — ответил разбитый тенорок из темного угла.

Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались они тоже самым обыкновенным образом. «Постой-ка» попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары.

— А они не убегут у вас? — спрашивал служащий, посматривая на деревянную стенку, отделявшую эту камеру от соседней комнаты.

— Ну, у нас-то уж не уйдут... — самодовольно ответил писарь и, мотнув головой на каморника, прибавил — Вон у нас какой благодетель для них приспособлен... хе-хе!.. Федя, не пустишь?

— Не пущу... — лениво ответил каморник. — Где им... Так, расейские. Их надо еще с ложки кашей кормить...

Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте и только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он — та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же сутулая, могучая спина.

— Не узнаешь? — спросил я его.

— Запамятовал, ваше скородие... — ответил Марзак тоном человека, приобщившегося к местной администрации.

— А вы его знаете? — спрашивал, в свою очередь, писарь. — Он у нас в сотских ходит вот уже третий год... Ну, Федя, запирай: сладенького понемножку.

Подснежник

(Очерк)

I

— Васька, и нет у тебя стыда ни капли... Погляди-ка ты на себя-то, на рожу-то на свою... Ох, погибель ты моя, Васька, не глядели бы на тебя мои глазыньки!..

— Мамынька...

— Какая я тебе мамынька?.. Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею. По станице идешь, так все пальцами тычут: вон Васькина мать идет. Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств?..

— Мамынька...

— И не смей ты этого самого слова выговаривать, а то прокляну... Лучше уйди с глаз долой...

Страшный контраст представляли эти два споривших голоса: старая казачка Ульяна так и дребезжала, точно треснувшее стекло, а грубый голос Васьки гудел такой полной нотой, как гудит ворвавшийся в комнату шмель. Впрочем, достаточно было взглянуть на дей-

ствующих лиц, чтобы понять эту разницу: высохшая, как щепка, Ульяна казалась девочкой рядом с своим сыном. Он сидел на лавке в накинутом на плечи татарском азяме и в белой войлочной киргизской шляпе на голове; красная кумачная рубаха врезалась воротом в красную могучую шею, а из широких киргизских кожаных шаровар, расшитых когда-то шелком, выставлялись голые ноги. Удивительный был человек этот Васька; он казался каким-то выходцем среди остальной человеческой мелочи, точно сорвался с какого-нибудь свитка увертливого московского подьячего, где означены были такие приметы: «волосом рус, кудреват, борода тоже русая, окладом надвое, над левой бровью к носу сечено на-полы да затерто зельем, глаза быстрые, из себя кряжист» и т. д. Такие молодцы родились только в разинской Руси, и сама Ульяна не могла дать толку, в кого мог Васька уродиться таким богатырем.

— Мамынька, а... дай двоегривенный...

Именно этого и ждала Ульяна и вся точно вскипела: этакий лоб пришел обирать у матери последние деньги! Легкое место сказать:

двоегривенный... Ведь ей, старухе, и в неделю его не выработать на пряже или полотьем гряд, а он все равно снесет его в кабак, двоегривенный-то. Взбешенная этой просьбой, Ульяна кинулась к сыну с кулаками.

— Двоегривенный, а?.. — визжала она, наскакивая на своего богатыря. — Ты думаешь, я на тебя и управы не найду... а?.. Сейчас побегу к атаману... Будет мне терпеть от тебя!

Старуха бросилась к двери, но вернулась и опять кинулась на Ваську с какой-то яростью, как раненый зверь.

— Да ты с кем разговариваешь-то, беспутная голова! — уже хрипела она и ловким ударом по затылку сшибла белую шляпу с Васькиной головы. — Бога-то хоть побойся... лезешь в шапке в избу, как орда какая...

Васька покорно нагнулся, чтобы поднять с полу шляпу, и свесившиеся русые кудри закрывали его лицо до самых усов. Разогнувшись, он исподлобья посмотрел на мать, движением головы откинул волосы назад и, улыбнувшись, проговорил:

— А ты погляди, мамынька, вот на это...

Скинув с правого плеча азям, Васька от-

крыл висевшую, как плеть, руку: красная рубаха была разорвана, и на самом плече вздулся сине-багровый пузырь с кулак величиной. Ульяна только жалобно ахнула и зашаталась на месте.

— Васенька, голубчик, кто это тебя изувечил? — закричала она, привычным глазом осматривая кровоподтек. — Ах, разбойники!.. Ужо я тебе разотру в бане да травки приложу. Кость-то хоть цела ли осталась, а мясо заживет... Ах, разбойники, душегубцы проклятые!..

— У башкыр на байге [298] был... — бормотал Васька виновато, — Ну, так оглоблей и зацепили... В голову, подлецы, метились, да только промахнулись.

Я был единственным свидетелем этой сцены, потому что занимал небольшую комнату рядом. Собственно говоря, первая ее половина представляла довольно заурядное явление, потому что Васька частенько завертывал к матери за двоегривенными и получал безропотно жестокую головомойку, но теперь весь интерес сосредоточивался на неожиданном финале.

Когда я показался на пороге, Ульяна жа-

лобно запричитала, — свое, домашнее горе при постороннем человеке казалось еще больнее.

— Перестань выть, — останавливал ее Васька. — Не велика важность... Не это видывали...

— Где это тебя, Василий, угораздило?

— Да так, неустойка небольшая вышла... Уж и здоров же башкыретин попался мне: дерево дубовое. Как звезданет оглоблей...

— Ты бы к доктору съездил, — посоветовал я, с ужасом разглядывая синий пузырь на плече.

— Ничего, так износим... Вот мамынька разотрет в бане да травкой полечит.

— И то полечу, — упавшим голосом повторяла за сыном убитая горем Ульяна. — Есть и травка такая...

Как все старые казачки, Ульяна умела лечить всякие ушибы и раны, — в прежние времена, когда под Уметом проходила «линия», без этого было нельзя. Увлекшись медицинскими соображениями, старуха позабыла о «двоегривенном», а только охала и быстро что-то искала по разным печуркам, на пола-

тях и в сундуке под лавкой. Нужно было видеть, с какой ловкостью Ульяна принялась растирать ушибленное место, а потом перевязала его.

— Ну и башкыретин попался! — бормотал Васька, покручивая кудрявой головой. — Как размахнется... ну и черт!..

Когда перевязка кончилась, в руках у Васьки появился точно сам собой двоегривенный, — это сунула Ульяна, уже без всякой просьбы, точно она хотела утешить поврежденное детище. Она выскочила за ворота, провожая уходившего в кабак Ваську. Он и шел не так, как другие, по самой средине улицы, волоча по пыли одну полу азяма. В дверях кабака ждала возвращения Васьки кучка кабацких завсегдатаев. Когда низенькая, расщелившаяся и захватанная грязными руками кабацкая дверь проглотила могучее Васькино тело, Ульяна вернулась в избу и, повалившись на лавку, глухо зарыдала. Нужно же было выплакать свое старое горе, свою материнскую любовь и женскую беспомощность.

Эта живая картинка с натуры расстроила обычный порядок моего дня. Я долго ходил по

комнате, прислушиваясь к подавленным всхлипываниям Ульяны, и какое-то тяжелое и гнетущее чувство мешало приняться за обычную работу, точно и комната сделалась вдруг меньше, и воздух сперся, и какой-то мертвой истомой дохнуло в открытое оконце с накаленной летним степным солнцем улицы. В такие жаркие июльские дни станица Умет точно вымирала. Даже станичные собаки, и те исчезали неизвестно куда Действительно, степное солнце жжет так немилосердно, что не хочется двигаться, да и некуда, если бы даже явилась к тому охота, — кругом станицы разлеглась ковыльная степь, желтым ковром уходившая из глаз. Лес был вырублен самым безжалостным образом, и кизяк служил единственным топливом. Дождя не было уже около двух недель, и солнце по утрам поднималось в дымном мареве, красное и громадное, точно только что раскаленнее где-нибудь в кузнечном горне. Жизнь в станице проявлялась только по утрам и вечерам, когда спадал степной зной.

— Ульяна, поставь мне самовар, — проговорил я наконец, чтобы хоть этим отвлечь

внимание бедной старухи от ее горя.

— И то поставлю, барин, — отозвалась она своим обычным заботливым тоном. — Вон какая жарынь на дворе... Спалило совсем.

К особенностям Ульяны принадлежала способность необыкновенно быстро двигаться, хотя старухе было уже под семьдесят. Когда она спала, я не знаю, потому что в течение двух недель постоянно видел ее на ногах. Домик Ульяны в станице был лучшим, и я занимал в нем отдельную комнату, убранную с некоторой претензией на удобства. Беленая печка, деревянная кровать за ситцевым пологом, зеленый шкаф для посуды, оклеенный обоями передний угол и несколько деревянных стульев говорили о лучших временах, когда еще был жив муж Ульяны, станичный атаман. Она была дочерью атамана и вышла замуж за нового атамана. Впрочем, это было только одно громкое слово, так как станичные атаманы оренбургского казачьего войска мало чем отличаются от других рядовых казаков.

II

За самоваром по вечерам у нас с Ульяной

велись длинные, душевные разговоры. Старушка любила чай, но должна была отказывать себе и в этом единственном удовольствии, потому что какие старушечьи достатки, а от Васьки немного поживишься. Поставленный в неурочное время самовар сейчас являлся для Ульяны лучшим утешением, хотя она, по обычаю, из вежливости и отказывалась от чая. В этой высохшей старушке было так много деликатности и какой-то детской застенчивости, чем она мне особенно нравилась. Глядя на нее, так и казалось, что это уже не человек, а одна тень, — жизнь оставалась назади, в далеком прошлом. Переходы от одного чувства к другому совершались в ней тоже с детской быстротой, и, выпивая вторую чашку, Ульяна уже улыбалась.

— Васька-то, беспутный, на какого башкыретина натакался! — повторяла она с улыбкой, покачивая маленькой головкой, как у сушеной рыбы, точно говорила о ком-то постороннем. — А не ходи на байгу, не связывайся с ордой... Все равно уходят когда-нибудь, — прибавила она уже совсем равнодушно.

— Кого уходят, бабушка?

— А его же, Ваську... Не сносить ему своей головы, потому как сам везде лезет. Какой-то он смешной, право... Вот этак живет-живет в станице, год живет, два живет, а потом придет и говорит: «Мамынька, уйду я от вас... провалитесь вы совсем и с вашей станицей... Тошно мне и глядеть-то на вас». Ну, и уходи, коли тошно. А я уж знаю его повадку: уйти-то уйдет да и воротится, беспременно воротится. Тянет его в станицу... Теперь вот огоревал себе меленку, так сколько по-живется. Кабы у Васьки ум был, так как бы он жил-то... ох-хо-хо!.. В степе он гурты гонял, так приехал домой о двуконь, седло в наборе серебряном, на самом два шелковых халата, и мне привез шелковый платок. Тоже, значит, вспомнил мать-то... Право, такой отличный платок. Ну, а потом все и пропил и платок дареный у меня же из сундука выкрал. За этот самый платок ему же и досталось: замертво привезли... Ох-хо-хо! Сижу вот этак же под вечер у окошка, пряду шерстку, а Ваську на телеге и привозят. Так меня всю и захолонуло... Выскочила, гляжу, а он совсем мертвый, а от лица и званья нет. Одежда на ем вся испластана, сам в

крови, глаза опухом затянуло, лежит в телеге и не шевельнется. Так замертво и в избу внесли... Уж я его обихаживала-обихаживала: и мыла, и натирала, и мазью мазала, и в бане по три дня с одной старушкой правила, — нето-нето, мой Васька одыбался. Вот он какой, утешитель-то мой. А как открыли у нас вблизи золото да пошли промысла, так и способов никаких с Васькой не стало. Этак же вот одинова его в шахте нашли: ни рукой, ни ногой... Опять я же его налаживала. Стану его спрашивать: «Кто тебя, Васька, убил?» Молчит. Крепкий он на язык, не обмолвится. Сегодня вот про башкыретина сказал, а то головой своей беспутной тряхнет — и весь тут наш разговор. Взъедаюсь я на него, и сильно взъедаюсь, а в другой раз и согрешу — пожалею... Своя кровь, а материнское сердце зла не помнит. Да и какой-то он, Васька-то, особенный уродился: все люди как люди, а его ни к чему не применишь, точно он заговоренный.

Ульяна несколько раз во время своего рассказа принималась плакать, а потом смеялась сквозь слезы и переходила к новым по-

двигам своего беспутного Васьки. Но это была, так сказать, экстраординарная тема, вызванная исключительными событиями, и, когда материал исчерпался в достаточной степени, старушка перешла к наклонной плоскости своих старушечьих воспоминаний — главный предмет наших чайных бесед. Да и было о чем вспоминать Ульяне, этой пожелтевшей странице станичной летописи. Она помнила еще то время, когда на Умет нападали киргизы, то есть не на самую станицу, а на людей в поле.

— Как же, наезжала эта орда на нас, и бабушку мою с матерней стороны кыргызы в полон увели, — рассказывала Ульяна. — Попа тоже тогда в полон увели, а чтобы он не убежал, так сило (конский волос) настригли, разрезали попу пятки, да в пятки и насыпали. Когда я еще совсем девчонкой была, так одного нашего казака кыргызы вон на том увале копьями скололи... Березнячок тогда рос по увалу-то, ну казак и идет по нему с покоса, а на них кыргызы и наехали. Жена-то побежала, а казак на кыргызов бросился, чтобы ущитить жену, ну, а они его искололи копьем. На

другой день его еще живого привезли. Я бегала посмотреть: лежит в телеге и стонет, а из-под телеги кровь каплет... Кончился через день. Комендант у нас дрянной был, и солдаты все какие-то беззубые да кривые. Ну, он, комендант-то, заместо того, чтобы оборонять вдову, ее же за кыргыза Измаила замуж отдал, потому она стала бы просить свою вдовью часть с него, с коменданта-то... Измаил-то и убил казака, а комендант ему вдову отдал.

— Да ведь Измаил-то не нашей веры был, так как православную отдавать за него?

— Говорю: дрянной комендант был... Линия-то тогда близко проходила под Уметом, ну, казаки и мешались с ордой: то наши девок-кыргызок, то кыргызы увезут наших девок. Дрянной был комендант...

Старая казачка часто повторяла одну и ту же фразу, точно пережевывая ее, а потом мысль, как ночная птица, делала неожиданно быстрый поворот к настоящему и прежде всего, конечно, к беспутному Ваське. Раньше бы родиться ему, Ваське, когда кыргызы на линию наезжали, в самый бы раз Ваське с кыр-

гызами воевать, а то теперь также напрасно погибнет где-нибудь у кабака...

Летосчисление Ульяна вела по пожарам: большой пожар был лет двадцать назад, а поменьше — лет десять тому времю. Когда в девушках была, тоже вся станица выгорала раза два, а самый большой пожар случился в тот самый год, когда Ульяна «привела в дом жениха» — она была богатая атаманская дочь и жениха брала в дом, на все готовое. Последний пожар был прошлым летом, — половину станицы как языком слизнуло. Прежде хоть строиться легко было — лес под рукой, а нынче ближе ста верст жерди не найдешь. Вот Ваське на пожарах так цены нет, — кабы не он, так у ней изба уж давным-давно сгорела бы.

— С промыслами у нас народ совсем иствaрился, — рассказывала Ульяна. — Как пошло это золото по станицам, так все точно белены объелись... На моих памятях все дело было. Жили мы тут по старине, как еще отцы и деды наказывали, а тут вдруг золото... Точно кипятком народ-то обварило. Лет этак с пятьдесят, как золото началось в степе: сначала в

Кочкаре оно объявилось, а потом до нас дошло.

Мужики-то все на промыслы бросились, а за ними и бабы поволоклись... Ох-хо-хо!.. До Умета золото дошло перед большим пожаром... Ну, мой-то Васька чем хуже других: на промыслах вконец изболтался. И теперь, сказывают, краденое золото скупает, только достигнуть его не может канпания. Давно его следует, а соследить не могут, потому как у вора одна дорога, а у выследчика целых сто. Горе наше казачье с этим золвтом... И как будто денег много зарабливают, а бедность еще больше. Народ истварился совсем, из кабака не выходят, а это какой же порядок? Землю запустили, от крестьянской работы отбились, одна надежда на золото... Канпания эта подсунулась, землю в аренд забрала. «Мы, — говорят, — вас кормим»...

III

Казачья станица Умет, раскидавшая свои избенки по берегу степной реки Уя, являлась сама по себе своего рода сфинксом: для чего она существует и как существует — для обыкновенного разума неразрешимая задача. Ко-

гда-то давно, когда уводили баушку Ульяны в полон, она еще имела значение, а сейчас решительно никакого, как сотни других казачьих станиц, раскиданных в земле оренбургского казачьего войска. Ради курьеза можно отметить хлесткие названия некоторых станиц: есть казачий Париж, есть Берлин, Кацбах, Ульм и т. д.

Река Уй выпадает с южного Урала и уходит в степь. По ее безлесным берегам рассажалось много казачьих станиц, а между прочим, и Умет. Место для этой станицы выбрано открытое, вольное, и только с одной стороны она прикрыта увалом. Кругом поля, луга и ковыльная степь. Станичное строение издали и вблизи имеет самый жалкий вид, как любая русская деревушка, — я говорю: русская, в отличие от громадных, семиверстных сибирских сел. Прежде всего резало глаз отсутствие всякой зелени — ни кустика, ни деревца, вообще хоть шаром покати. Казаки в этом случае перещеголяли даже башкир, которые оставляют лес хоть на своих кладбищах и вообще над могилами. Благодаря недостатку в строительном материале избы выстроены из

березовых жердей и хозяйственные пристройки состоят из одного плетня. Сверху все это прикрыто соломой. Из этого общего описания можно себе представить внешнюю красоту этих казачьих Парижей и Берлинов, которые издали походят просто на неправильно раскиданные по полю кучи навоза. Печи делаются из битой глины кое-как, трубы поэтому лопаются, а отсюда вечные пожары казачьих станиц, пожары, которые нисколько не способствуют к их украшению, как это случается в деревянных русских городах. Если мазанки и плетни до известной степени красивы в Малороссии, где и климат другой, и притом везде вы встретите зеленый садочек, прикрывающий хохлацкое убожество, то здесь, в степи, эти плетни и березовые избы просто жалки.

В Умете лучшим домом была изба Ульяны, поставленная еще в доброе старое время. Она сохранилась от постоянных пожаров каким-то чудом, а отчасти благодаря тому, что была поставлена на углу станичной площади. Внутри она делилась на две избы, — в одной жила сама хозяйка, а другая отдавалась внай-

мы. Последнее явилось статьей дохода только в последнее время, когда открыли золотые промыслы и по станицам начали шнырять разные юркие люди, искавшие легкой наживы. Кто даст двугривенный, кто тридцать копеек, а кто и целый рубль — в станице это большие деньги, и Ульяне завидовали все другие казачки. Да и как было не завидовать, когда добычливость ограничивалась своим домашним делом, а деревенской бабьей работе вся цена — расколотый грош.

Жизнь казачьей станицы летом напоминает тяжелый летаргический сон, нарушаемый только буйными возгласами кабацких завсегдатаев. Чувствуется какое-то изнеможенное бессилие и беспричинная степная апатия. День прошел — и слава богу... Если есть известное движение и стимул к такому движению, то это золотые промыслы, где кишмя кишат неведомые люди, жадные до степного золота. Достаточно сказать одно то, что эти таинственные незнакомцы сумели расшевелить даже казачью мертвую лень. При наделе в 15–30 десятин на душу великолепного чернозема оренбургский казак ухит-

рился добиться чисто башкирской бедности и с радостью отдает в аренду свой чернозем по 20–50 копеек за десятину, и вдруг он же, этот казак, идет на тяжелую промысловую работу. Секрет здесь в том, что у всякого есть расчет на легкую поживу, как в азартной игре, а пока этот всякий довольствуется и грошами. Другой расчет в том, что хлеб жди, когда еще он уродится, а уродился хлеб хорошо, так цена ему грош, а на промыслах расчет каждую неделю, и ленивый раб несет выручку прямо в кабак.

В течение какой-нибудь недели жизнь станицы, со всей ее внешней обстановкой и подводной частью, как на ладони — дальше и знакомиться не с чем, кроме бесконечных рассказов какой-нибудь Ульяны. Остаются промыслы, где жизнь кипит. Вечерком нет-нет да кто-нибудь и заглянет из промысловых служащих. Есть у меня среди них один приятель — Павел Митрич, который бывает чаще других и приносит с собой последний запас новостей. Это рослый и красивый молодец с кудрявой головой и смелыми глазами. Он прошел всю лестницу разных промысловых

обязанностей, а теперь занимает совершенно фантастическую должность «преследователя хищников», то есть ловит рабочих, тайно промывающих золото в даче компании. Каждое утро и вечер на горбоносом буланом коне Павел Митрич объезжает опасные пункты и частенько возвращается с добычей. Помню, раз в воскресенье я зашел в приисковую контору, — она стояла верстах в двух от Умета, на противоположном берегу Уя. Собственно говоря, это была почти лачуга или сарай, так что громкое название «контора» резало ухо. Не успел я поздороваться с дежурившим служащим, как на широкий конторский двор с треском влетела крестьянская телега, за которой неслись в карьер Павел Митрич и его верховая стража. В телеге кто-то лежал и громко стонал.

— Хищника привезли!.. — пронеслось по всем избушкам, окружавшим контору. — Павел Митрич хищника поймал...

Когда я вышел на двор, телега была окружена уже целой толпой. Тут сбежались и служащие, и прислуга, и рабочие, и разная безыменная приисковая челядь.

— Ох, убили!.. Ба-атюшки, убили... — стонал хищник в телеге.

— Врешь, шельмец!.. — ругался Павел Митрич, медленно слезая с своего буланка; он имел сегодня особенно торжественный вид, как герой дня. — У всех у вас одна повадка: убили... Ну-ка, ребята, поднимите его, сахара!..

Десятки рук бросились к телеге, и «сахар» предстал пред публикой в образе тщедушного мужичонки, босого и без шапки. Со страху у бедняги подгибались колени, и вообще он имел жалкий и несчастный вид, никак не вязавшийся с таким вредным словом, как «хищник». Сквозь толпу протискался точно из-под земли взявшийся Васька, схватил хищника своей железной рукой за плечо, встряхнул и торжественно поволок в контору. Мужик опять заохал и как будто весь сжался. Помню это запекшееся на солнце лицо, точно вылепленное из глины и растрескавшееся, как глина, убитый взгляд слезившихся серых глаз узкие плечи, болтавшийся на них заплатанный кафтанишко и необыкновенно длинные руки, — рядом с Васькой хищник походил на

мокрую курицу.

— Развяжите ему руки! — командовал Павел Митрич, в волнении шагая по конторе.

Хищника развязали и посадили на железный сундук с кассой. Он опять заохал.

— Я тебе покажу, стервец!.. — кричал Павел Митрич. — Еду мимо Голиковского разреза, а он сидит у воды с ковшом и промывает пески... Да, с ковшом. Где ковш? Вот этот самый. Как увидал меня, сейчас бежать. Каков? И убежал бы, если бы я не верхом был. Я знаю их повадку, и меня не проведешь... Прямо в разрезе сидит, и ковш в руках!.. Не-ет, голубчик, у меня не уйдешь... покажу! У меня суд короткий...

Пока составляли подробный протокол, Павел Митрич все время бегал по конторе и с азартом повторял все одно и то же. Он совсем вошел в роль «преследователя хищников» и выступал каким-то петушиным шагом. А хищник понуро сидел на железном сундуке и все охал, придерживая одну руку.

— Ну, будет тебе два неполных... — шутил Васька, похаживая около хищника с видом заплечного мастера. — Туда же золото воро-

вать!.. Ах ты, мусор!..

— Молчи, кошма! — огрызнулся хищник и сейчас же застонал.

Кошма — ругательное слово для всех оренбургских казаков, и поэтому Васька сейчас же вскипел.

— Павел Митрич, позволь мне уважить его, — просил он, засучивая рукава.

— Оставь!

Я не дождался конца этой тяжелой сцены и ушел.

Встретив через несколько дней Павла Митрича, я осведомился относительно дальнейшей судьбы пойманного хищника.

— Ах, да, тот?.. — равнодушно ответил Павел Митрич и махнул рукой. — Составили протокол и отпустили на все четыре стороны... Золота при нем не нашли, значит, тащить к мировому не стоит: только время даром потеряешь...

— Охота вам так беспокоиться из-за пустяков!

— Нельзя, служба, а второе — и им, подлецам, тоже потачки нельзя давать. Да...

— Да ведь Голиковский разрез давно выра-

ботан и брошен, так что же он мог достать со своим ковшом?

— Оно, конечно, ничего не достанет, а всегаки нельзя; компания требует преследования хищников. Позволь одному, а за ним сотня их является. Со мной раз какой случай был... Я тогда еще пешком ходил по промыслам — возьму ружье и иду. Раз этак иду и вижу: двое башкир сидят в разрезе и полощутся с ковшами. Я к ним, а они от меня. Да... Я за ними, а они бегом в гору и всю снасть за собой волокут. Хорошо... Я как из одного ствола выстрелю, конечно, на воздух — они пали, побросали лопаты и ковши да опять в гору. Они-то босиком дуют, а мне в сапогах за ними не поспеть. Очень уж трусливый народ и боится выстрела до смерти... Я как царапну из другого ствола, они опять на землю пали, а потом вскочили да, как зайцы, в разные стороны бросились. Так и ушли... Что, по-вашему, это красиво?

— А что?

— Нет, я-то в каких дураках остался? Башкиришки убежали и надо мной же, поди, посмеялись. Нет, с этим народом нельзя без

строгости.

Павел Митрич, минуя его специальную обязанность, сам по себе был премилый человек. Собственно говоря, и его должность носила скорее комический характер, как в приведенном примере. Казаки отдавали компании свои земли на самых льготных условиях и потом сами же шли в кабалу к компании, сдавая ей добытое золото за полцены, — кто тут нрав и кто виноват, судить трудно. Башкиры так же делают: сдадут в аренду свои земли за бесценок, а потом сами же идут наниматься к арендатору в работу.

Свободное время, которого оставалось у Павла Митрича достаточно, он посвящал охоте, и мы изъездили и исходи-, ли с ним много места. Степная охота неважная, но все-, таки развлечение.

IV

Незадолго до моего отъезда из Умета рано утром завернул ко мне Павел Митрич и, постучав в окно избы нагайкой, проговорил:

— Поедемте на мельницу к Ваське... У него на пруду пара диких гусей живет в камышах.

— Как же мы поедем: верхом на одной ло-

шади?

— До конторы, а там возьмем коробок и закатимся. Васька хотя и плут, и я давно слежу за ним, но гуси-то не виноваты, что он краденое золото скупает.

— Совершенно верно...

До Васькиной мельницы было верст пять, так что не стоило обращаться в контору. Я отправился пешком, а Павел Митрич ехал за мной верхом. Дорога шла вниз по Ую, через заливной луг. Ранним утром степь полна своеобразной прелести, — краски блещут еще ночной свежестью, даль уходит из глаз радужным туманом, и воздух дышит застоявшимся тяжелым ароматом пахучей степной травы. Желтоватые султаны ковыля точно проросли алмазными искрами — это ночная роса; в воздухе невидимо гремит жаворонок, над головой в недосягаемой выси неподвижными точками стоят степные ястреба, а солнце поднимается такое большое и совсем без лучей. День будет знойный, и вперед чувствуешь во всем теле наливающуюся истому.

— А я его, Ваську, все-таки достигну, — задумчиво повторяет Павел Митрич, распуская

поводья, — потому не скупай нашего золота... да. Он думает, что дураки круглые и черт ему не брат. Погоди, голубчик...

— Как же это так, Павел Митрич: вы его выслеживаете, то есть Ваську, а он бывает у вас в конторе, и мы сейчас едем к нему же в гости?

— Это ничего не значит: хлебцем вместе, а табачком — врозь. Он свою линию ведет, а мы свою... Я ему давно, черту, говорю: «Васька, не уйдешь ты от моих рук». Да... У нас это просто.

Через час показалась и Васькина мельница, выглянувшая на нас из-за крутого мыса. Уй был перегорожен широкой плотиной, и река красиво разлилась в плоских берегах, затянутых камышом. Самая мельница «раструска» имела довольно жалкий вид и стояла даже без крыши, как приготовленный к постройке сруб. В десяти шагах от нее красовалась вросшая в землю избенка, — она была также без крыши. Покачнувшийся плетень и соломенный навес дополняли хозяйственную обстановку мельника.

— Ишь, подлец, какое место убойное облю-

бовал! — ругался Павел Митрич, свешиваясь в седле по-киргизски на один бок. — Он у нас, как бельмо на глазу сидит, потому рабочим до его мельницы с промыслов рукой подать... А гусей мы у него все-таки залобуем!

Мы нашли Ваську дома. Он сидел в своей избенке перед самоваром в обществе какого-то башкира и того самого мужичонки-хищника, которого Павел Митрич недавно представлял в контору с такой помпой.

— В гости к тебе приехали, — заявил Павел Митрич, входя в избу. — Ну, здравствуй...

— Мы гостям завсегда рады, Павел Митрич, — степенно ответил Васька, протягивая свою невероятной величины длань. — Милости просим, господа почтенные... Уразайка, поставь-ка нам самоварчик!

Башкир молча поднялся и, расставив широко руки, бережно вынес самовар из избы. Это был высокий и ражий детина с удивительно плоской рожей, на которой два узких черных глаза точно заблудились. Одетый в национальные лохмотья, он казался еще могучее самого Васьки.

В избушке было голо, как на ладони. Толь-

ко на стене висело дрянное тульское ружье, да в углу валялся татарский азям. Единственная лавка и стол в переднем углу составляли всю меблировку.

— Ну и дворец у тебя! — говорил Павел Митрич, отыскивая место, куда бы положить свою фуражку. — Не стесняешь себя мебелью-то...

— А на что она мне, ваша мебель: и так хорошо. Кому надо, так и моей избушкой не брезгует. Тоже и нас добрые-то люди не обегают, Пал Митрич...

— Вижу, вижу... Это мой хищник-то? — ткнул Павел Митрич на сидевшего у стола мужика.

— Он самый, Пал Митрич... Надо же и ему куда-нибудь деться, вот он и пришел ко мне.

— Так, добрый ты человек... А башкыра где подцепил?

— Башкыра? — переспросил Васька и, почесав могучий за тылок, улыбнулся. — А это мой приятель будет... На байге-то тогда он самый оглоблей меня и хлестнул. И здоров же из себя, Пал Митрич, а мне любопытно... Вот чаем его накачиваю за ловкую ухватку, что

Ваську умел саданутъ оглоблей... Илюшка, ты бы вышел из избы, а то Палу Митричу и глядеть-то на тебя обидно, — прибавил Васька, обращаясь к молча сидевшему хищнику. — Выдь на улицу да погляди, где у меня лошадь запропастилась...

Мужик покорно вышел из избы, пряча рваную шапку за спиной, точно он ее только что украл.

— А мы за твоими гусями пришли, — говорил Павел Митрич, довольный оказанной любезностью.

— Что же, доброе дело, а гуськи точно что есть... К самой мельнице третьева дни подплывали... Жирные они сейчас...

Рука у Васьки еще плохо зажила, и он обходился пока одной левой. Сегодня он имел вообще такой степенный вид, а кудрявые волосы были даже расчесаны и намазаны коровьим салом. Ситцевую розовую рубаху Васька как-то по-детски подвязал гарусным пояском, а на ногах у него красовались мягкие татарские сапоги с расшитыми зеленой бухарской шагренью задками. Вообще щеголь хоть куда, а деревенские бабы от Васьки «решились

ума», как говорила Ульяна качая своей маленькой головой. Держался он просто, но с достоинством человека, видавшего лучшие дни. За чаем сначала разговор плохо вязался, и Васька больше отмалчивался, разглаживая свою кудрявую бороду.

— Ну, а как ты нынче насчет женского пола? — шутил Павел Митрич, подмигивая. — Прежде большой охотник был...

— Пустой это предмет, Пал Митрич, — строго ответил Васька и даже благочестиво отплюнулся. — Прямо сказать: страм...

— Не любишь? Ха-ха... — заливался Павел Митрич, вытирая лицо платком. — Помнишь, видно, как дробью стреляли...

Васька скосил глаза на меня и укоризненно покачал своей головой: эх, дескать, Пал Митрич, разбалакался не к месту при чужом человеке!

— Ничего, быль молодцу не укор, — успокаивал его Павел Митрич. — Да и дело самое житейское... Он тебя где подстрелил-то?..

— Кто?

— Ну, перестань прикидываться.

— Да я что, мне все равно... А только к то-

му говорю, что меня, может, сколько разов и дробью и пулей стреляли, так и перепутать не мудрено.

— Я про Маланьина мужа говорю, в Умете.

— А... Что же, было дело, Пал Митрич. Я, значит, в клети с Маланьей-то со своим делом, а муж шасть домой. Ну, зима, я в полушубке был, а он забежал в избу, ухватил ружье со стены да как полыхнет меня прямо в брюхо — против сердца метил, да обнизил... Только и всего...

— У него и теперь весь заряд в животе сидит, — объяснил мне Павел Митрич, заливаясь смехом. — Из пушки не прострелишь... — К ненастью чувствую ее, дробь-то, как она по брюху начнет перекатываться, — серьезно объяснял Васька. — В таком роде, как горох... Ежели бы у меня была кость жидкая, так прямо бы насквозь, а то стерпел.

— Так ты бежать из клети, а Маланьин муж тебя прямо в упор: бац?!.. — переспрашивал Павел Митрич. — Ох, согрешишь с тобой, Васька... Ты расскажи-ка нам, как сам-то киргыза порешил под Троицком.

— Опять ты напрасно, Пал Митрич: ничего

я не знаю...

— Да перестань отпираться! Этакая глупая привычка, точно ты у следователя.

— Лошадь у меня в те поры действительно была хорошая, Пал Митрич, — заговорил Васька с серьезным видом, — а про кыргыза, вот как перед истинным Христом, не покаюсь... Сам ничего не знаю! Тогда я с гуртом из степи шел, ну, под Троицким остановились пожировать. Хорошо. Я — в Троицк, да там и заболтался.

— Вожжа под хвост попала?

— Около того... Только ночью ко мне подручный и прискакал: «Кыргызы гурт отбивают»... Ну, я сейчас пал на лошадь, левольвер за пазуху и качу. Ах, хороша была лошадь, Пал Митрич! До гурта-то больше десяти верст я с небольшим в полчаса сделал. Пастухи мечутся, как угорелые, и объяснить ничего не могут, а только показывают, куда кыргызы моих баранов отогнали. Ночь — глаза выколи... Я за ними один бросился, потому надеюсь, что лошадь меня вполне оправдает. И действительно нагнал. Кричу: стой!.. Их трое, и все конные... Лопочут по-своему, а я пони-

маю ихний-то разговор; кунчать башка мне хотят. Ах, псы! Я сейчас на них да из левольвера... Убил кого, нет, ничего не знаю, а баранов привел всех назад. Только всей моей и причины было, что больно уж лошадь хороша у меня была...

— Одним словом, порешил, Васька... Нехорошо отпираться: дело прошлое.

— Ничего не знаю, Пал Митрич. Напраслиной обносите меня, как вот и насчет вашего золота...

— Ну, уж насчет золота-то мы сами знаем, что знаем, а тебе быть на веревочке. Уж это, брат, верно, как в аптеке...

— Ловите, а поймаете — ваше счастье.

— И поймаем... Дай срок, не увернешься.

— и-но-о?.. Перестань, Пал Митрич, пужать, а то как раз застращаешь мужика. Робок я больно, того гляди, занеможете я...

Охота у нас вышла неудачная. Гуси сильно сторожились и не допускали даже на два выстрела, несмотря на самое усиленное старание. Кончилось тем, что они поднялись и улетели по направлению к одному из степных «озеринок».

V

В последний раз я видел Ваську накануне отъезда, когда он поздно вечером пришел пьяный к матери с своей обычной просьбой о деньгах. Повторилась с небольшими вариациями уже известная читателю сцена.

— Да у меня припасено для тебя? — кричала визгливо Ульяна. — Тогда пожалела, дала, а ты, может, и руку нарочно сам извел...

— Мамынька...

— Уйди с моих глаз долой!..

Чтобы удержаться и не дать двугривенного, Ульяна придумала новое средство: она оставила Ваську сидеть в избе одного, а сама ушла куда-то в соседи. Васька сидел на лавке, раскачиваясь из стороны в сторону, и время от времени повторял:

— Мамынька... а мамынька!.. Мамы-нька...

Мне надоело слушать эти возгласы, и я вышел сказать, что старухи нет дома. Васька с удовольствием посмотрел на меня мутными глазами и проговорил:

— А помнишь гусей-то?.. Пытал меня тогда Пал Митрич, насчет золота пытал, а оно тут было... было на двух ногах и из избы ушло...

Вот как у нас!.. Я, может, этого ихнего золота в год-то через свои руки пропущу не один пуд, а только у Васьки ничего нет... Плевать мне и на ихнее золото!.. Да... Будет, шабаш... Брошу станицу и уйду куда глаза глядят. Надоело... Мамынька, а?..

— Да нет ее, ушла.

— Уйду, брошу все... — бормотал Васька, мотая головой. — Есё одно, где ни пропадать...

— Отчего ты на одном месте не хочешь устроиться?

— А тошно мне... устраивался сколько разов: одежду справлю, лошадь заведу, денег накоплю, а потом и прорвет. Для чего?.. Не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Сила во мне непреоборимая ходит, ну и тоскуешь, потому как есть деваться мне некуда. Вот еще к месту своему тянет... мать-старуху тоже жаль... Плачется она на меня, а мне ее жаль. Мамынька родимая, прости ты меня, дурака!.. Земля меня не носит — вот я какой проклятый человек!

Васька сидел у стола облокотившись на него руками. С последними словами он уронил свою кудрявую голову на руки и глухо за-

рыдал. В окно глядела ясная месячная ночь, и где-то далеко перекликались журавли.

Через год мне случилось проезжать через Умет. Я велел ямщику везти меня к Ульяне.

— Да нету ее, твоей Ульяны, — ответил ямщик.

— Как нету?

— А уж так... По осени-то другая половина Умета выгорела, ну и ее изба тоже. Захудала сильно старуха, а силы уж нету. Так кой-как перебивалась, сердяга: где день, где ночь. А по весне-то к святым местам ушла.

— А Васька где?

— Васька? И его нету...

— Тоже ушел куда-нибудь?

— Ушел-то он действительно ушел из станицы: ни слуху ни духу... А Ульяна одно твердит: воротится к своему месту. Чуяло ее сердце, что близко он. Подснежником и объявился Васька по весне...

— Каким подснежником?

— А по весне, значит, когда снег тает, так мертвяки и оказываются, ну, мы их подснежниками зовем, потому как из-под снегу они объявляются. Так и Васька... Недалеко от

мельницы нашли его. Как был в полушубке, так и лежит на правом боку. Уж кто его достиг — ничего неизвестно... Много у нас таких подснежников объявляется по веснам. Ну, Ульяна-то сильно горевала, а потом к святым местам и ушла...

Клад

I

В уездном городе Кочетове «Сибирская гостиница» пользовалась плохой репутацией, как притон игроков и сомнительных сибирских «человеков», каких можно встретить только в сибирских трактовых городах, особенно с золотых промыслов. Чистая публика избегала останавливаться в номерах «Сибирской гостиницы», но навертывались иногда проезжающие, попадавшие в эту трущобу по неведению. Днем в гостинице всегда было тихо, но жизнь закипала по вечерам, и далеко за полночь окна гостиницы светились огнями: темные сибирские человеки играли в карты, кутили на чужие деньги и весело хороводились с подозрительными женщинами. Общая зала всегда оставалась пустой — си-

бирская публика еще не привыкла к трактиру, и только в бильярдной громко щелкали шары, точно открывалась и закрывалась какая-то громадная пасть, лязгавшая вершковыми зубами. Старик-маркер, в войлочных туфлях и длинном дипломате неопределенного цвета, разбитой старческой походкой шмыгал около бильярда и, считая очки, монотонно повторял недовольным тоном:

— Сорок семь и двадцать четыре... двадцать четыре и сорок семь!

Это был мрачный субъект с испитым, желтым лицом и моргавшими серыми глазами. Он часто морщился, потому что простуженные ноги давали себя чувствовать при каждом неловком шаге. Да и руки тоже болели у старика — сказывался старческий ревматизм. Коротко остриженные седые волосы покрывали угловатую голову, точно серебряной щетиной, а когда старик упорно глядел на кого-нибудь своими маленькими глазками — редкий выносил этот волчий взгляд.

— Чего уперся глазами-то, старый черт!.. — ругались самые отпетые бильярдные завсегдатаи.

Старик презрительно улыбался и машинально выкрикивал свои маркерские цифры. Не одну тысячу верст сделал он, ходя около бильярда, а еще в силах и может ответить за любого молодого. Широкая сутулая спина и длинные руки говорили о недюжинной силе, когда-то сидевшей в этом износившемся старом теле; но что было, то прошло, а теперь старый маркер все ходил около своего бильярда, как манекен. Прислуга в гостинице не любила его за неуживчивый нрав, но хозяин его держал как ловкого человека на всякий случай — он и из беды выручит и других не выдаст. Вообще серьезный был старик, видавший виды, не то что остальная трактирная прислуга, набранная с бору да с сосенки. Звали старика Галанцем — эту кличку он принес с собой в Сибирь из Расеи. Кто он такой и откуда — никто не знал, да никто и не интересовался: просто маркер Галанец — и все тут. Только когда старика сердили, он говорил:

— Эх, вы, варнаки сибирские!..

— А ты как в Сибирь попал, дедка?

— Я? Я — другое... Я по своему делу попал, а не по кнуту. Помирать в Расею пойду... На-

доело мне и глядеть-то на вас, варнаков.

После каждого такого объяснения Галанец делался особенно мрачен и ходил около своего бильярда темнее ночи. Разве они, холуи, могут что понимать? Он, Галанец, с полковниками в аглецком клубе играл... да. Меньше полковника туда и хода не было, а это что за публика, и публика холуйская, и прислуга тоже. Никакого обращения не понимает, потому что настоящего никто и не видал. Эх, кабы ноги Галанну да прежний вострый глаз, бросил бы он давно эту немшоную Сибирь!.. Так, видно, на роду было написано, чтобы с холуями валандаться... От судьбы не уйдешь. Своих гостей старик презирал от всего сердца: разве это настоящие господа, — так, шантрапа разная набралась. Каждый норовит на грош да пошире — одним словом, варнацкая публика.

Тускло горят лампы в бильярдной. В буфете стенные часы пробили одиннадцать. Галанец ходит с машинкой в руках[299] чуть не с обеда. Ноги у него сегодня особенно ноют — чуют, видно, ненастье старые кости. На беду игроки навязались неугомонные: Вася и проезжий адвокат. Оба играют хорошо, но Гала-

нец следит за игрой с презрительной улыбкой: разве так играют?

— Смотри, распухнет шар-то! — дразнит адвокат Васю.

Вася надувается, краснеет и, выделив шар кием, делает промах. Каждая неудача заставляет его отплевываться. Он в смятой крахмальной рубашке и потертом пиджаке, на ногах туфли, как и у маркера, — барыня, значит, осердилась и арестовала сапоги. Молодое, румяное лицо Васи хмурится, и он сердито взмахивает своей шапкой белокурых кудрей. Этот Вася настоящий мучитель для Галанца: как свяжется с кем играть, так и не уйдет, пока огней не погасят. И зачем только живет человек в «Сибирской гостинице»? Приехал с какой-то барыней да и околачивается третью неделю, а прислуга шу шу, шу-шу... Оказалось, что Вася состоит при барыне аманом [300], и чуть что напроказит, она сапоги с него снимет, а потом не велит обеда подавать. Сама запрется в своем номере и на глаза его не пускает. Целый день так-то Вася и перебивается в бильярдной, а прислуга смеется над ним же.

. — Что, Вася, ножки, видно, заболели?..

— А ну вас к черту! — огрызается он. — Я вот ее задушу, тогда узнает, какой я человек... А сапоги — плевать. В туфлях еще свободнее.

Прислуга смеется, а Вася как ни в чем не бывало только башкой трясет, как хороший коренник. Барыня держала его в ежовых рукавицах. Да и было кому держать: высокая, здоровая, как есть в настоящем соку. Из номера она редко показывалась, и то больше по вечерам. Наверно, убежала от мужа с молодцом да и гарцует в свою бабью волю — так решила номерная прислуга. Мало ли народу околачивается в номерах — всякие и барыни бывают. Вася унижался до того, что выпрашивал у швейцара сапоги, а у официантов занимал по двугривенному.

Итак, Вася играет с адвокатом. Сначала он проигрывал, но, затянув партнера, кончил партию несколькими ударами, как делают ярмарочные жулики.

— Не вредно, — похвалил Галанец, прищуривая от удовольствия глаза, — Ловко сыграно.

— А ты как меня понимаешь, Галанец? —

хвастался счастливый успехом Вася. — Не смотри, что я в туфлях сегодня... Тебе дам десять очков вперед.

— Подавишься...

— Я? Давай, сейчас намочу тебе хвост, старому черту...

Проигравшийся адвокат был рад отвязаться от партнера и тоже принялся поджигать старого маркера. Положим, этот адвокат был прохвост и, проживая в гостинице, занимался больше всего обыгрыванием захмелевших купеческих сынков, но старому Галанцу показалось обидно, что над ним смеются такие прохвосты, — они задели его за живое место. «Ах вы... шильники[301]!» — ругался старик, молча выбирая кий. Он редко играл, но теперь нельзя было отказаться.

— Если обыграешь Ваську, закладываю рубль, — поощрял адвокат, усаживаясь на диван. — Да нет, где тебе, Галанец...

— Я могу даже закрыть левый глаз, — хвастался Вася, выпячивая грудь колесом. — С одним правым глазом буду играть.

— Ах вы, шильники!.. — ругался Галанец, размахивая кием. — Да я в аглецком клубе иг-

рал в Петербурге... с полковниками... Там меньше полковника не полагается, а не то чтобы какая-нибудь шантрапа. Чему смеетесь, желторотые!

Рассерженный Галанец сначала сделал несколько промахов, но потом успокоился и кончил партию с треском, как играют только старые маркеры. Вторую партию он кончил почти «с кия», не давая партнеру дохнуть.

— Ах, ты... сахар!.. — ругался Вася, разбитый в пух и прах.

В это время Галанец только хотел сделать шара, но остановился, посмотрел на Васю сбоку и спросил:

— Как вы сказали, сударь?

— Я говорю: сахар...

У Галанца задрожал в руке кий. Он еще раз посмотрел на Васю и уже вполголоса прибавил:

— Карпу-то Лукичу сынком приходитесь?..

— А ты почему знаешь?

— Да поговорка-то ихняя... Помилуйте, как мне-то этакого слова не знать? То-то я все присматриваюсь к вам: лицо знакомое, а узнать не могу. А вот поговорку-то узнал...

Вася был сконфужен этим открытием и только таращил глаза на маркера.

— Ну, что же вы остановились? — спрашивал адвокат.

— Не могу... устал... — бормотал Галанец, бросая кий.

II

Ночью в каморке Галанца долго светился огонь. Каморка была крошечная, как нора, где-то под лестницей в номера, но все-таки свой угол, где сам большой, сам маленький. В углу на столе горела дешевая жестяная лампочка, и тут же стояла бутылка с водкой. Вася сидел на стуле, облокотившись руками на стол, а Галанец кружился по комнате.

— А про Поцелуиху слыхали? — спрашивал старик.

— Это где клад-то?

— Шш!.. — зашипел старик, поднимая руку. — Что вы, Василий Карпыч, еще, пожалуй, услышат... Не таковское это дело, сударь.

Вася засмеялся и махнул рукой. Это движение обидело старика, но это было минутное чувство, которое сейчас же сменилось чем-то таким любовным и ласковым... Галанец все

смотрел на него, вздыхал и время от времени повторял:

— Эх, Василий Карпыч... а?.. Вася... Ведь еще малюточкой, можно сказать, на руках тебя нашивал, и вдруг... Эх, Вася, Вася, нехорошо! Так нехорошо, что и не выговоришь... Какое уж это занятие — в аманах при барыне состоять! Наши-то холуи зубы моют-моют, даже со стороны тошно слушать.

— Замотался я... ослабел... — шептал Вася со слезами на глазах. — Сам себя презираю... Хошь бы в маркеры куда поступить. Уеду куда-нибудь подальше и поступлю... А то что же это за мода: чуть прогулял лишний час, она и сапоги долой.

— Да кто она-то, дама-то твоя?

— А исправничья дочь, исправника Чистого...

— Это Галактиона Павлыча?.. Ах, боже мой, боже мой!.. Как сейчас его вижу, голубчика... Значит, дочка она ему-то?

— Родная дочь... Она замужем, только уж очень избалована: если у мужа денег нет, Анна Галактионовна и уедет.

— А он-то как же, муж-то?

— Ну, он деньги и добывает, а как добудет — она и воротится. У ней своих много, ну и дурит... Мужа в черном теле держит. Я выпью, дедка.

— Пей, голубчик... Ах, какое дело, какое дело!.. И даже в уме-то не представишь себе... Ежели бы такая дама подвернулась покойничку Карпу Лукичу, да он бы ее узлом завязал. Вот какой был человек необыкновенный... А вы, Василий Карпыч, насчет сапог не сумлевайтесь; мы это в лучшем виде оборудуем. Ах, какое дело, какое дело!..

— Мне вот только выпить, я ее убью, змею...

— Зачем убивать, Васенька... Пусть ее поживет: не ты, так другой найдется. Наскочит на такого хохоля, что овечкой сделает... Ну, да это все пустое. Погоди, оборудуем... Вот что, Вася, ты не ходи туда, в номер, а ночуй здесь, у меня. Я на полу прилягу, а ты на кровать...

— А она искать меня будет.

— Пусть поищет... А то я и сам схожу к ней. С полковниками разговаривал, небось, тоже в зубах у нас не завязнет. Так прямо и скажу: я и папеньку вашего Галактиона Павлыча даже

весьма знал, уж вы извините, а это не порядок...

— Ну?

— А то как же, Вася? В женскую, мол, вашу часть я не вхожу, а свою мужскую могу понимать и даже превосходнее других прочих.

— Нет, ты не ходи: плевать... Пусть ее разорвет со злости.

Вася обрадовался предложению Галанца и сейчас же улегся на его кровать. Он даже улыбался при мысли, как будет рвать и метать Анна Галактионовна, э, плевать, пусть лопнет! Правда, кровать у Галанца, вымощенная из старых досок, гнулась и трещала под ним, да и ноги пришлось согнуть, но все-таки лучше, чем слушать там, в номере, попреки да ругань. Старик в это время успел устроиться на полу, охая и покряхтывая. Он потушил свою лампочку и долго ворочался на своем жестком ложе.

— Василий Карпыч, вы спите?

— А... нет, не сплю... — бормотал впросонках Вася, — А что?

— Да так... Вот лежу и про клад все думаю.

— Про какой клад?

— А на Поцелуихе.

— И не думай лучше: ничего не придумаешь. Отец в землю от этого клада ушел...

— Ах, боже мой, кому ты сказываешь-то, Вася? Ты меня бы спросил лучше, как это самое дело было... Да. Тебя еще тогда и на свете не было...

— Рассказывай...

Пауза. Старик пошарил рукой по полу, угнетенно вздохнул и сел. Его старые глаза через окружавшую ночную темноту глядели вдаль, далеко, на то, что случилось тридцать лет назад. Ах, как все это было давно, и вместе точно все случилось вчера!

— Я тогда в аглецком клубе маркером служил, — начал старик, разводя руками, — Ну, а «Дрезден» в Конюшенной — модные номера так назывались. В «Дрездене» у меня швейцар был знакомый. Так вот этот швейцар — Никитой его звали — и приходит ко мне этак с утра, когда еще господа в номерах спали. «Григорий, — говорит, — дело до тебя есть». «Какая-такая потребность случилась?» — говорю я. «А такая, — говорит, — не вдруг и выговоришь...» Говорит это, а сам смеется. Хоро-

шо. Ну, он и рассказывает: приехали, грит, в «Дрезден» два господина, не то, чтобы настоящие господа, да и к купцу нельзя применить. Заняли, грит, лучший номер и сейчас спать; целые сутки спали. Мы уж, грит, хотели полиции объявлять, ну, а они в этот раз и проснись. Потребовали самовар, водки и закуски. Фициант подает им все в порядке, как следует порядочным господам, а они его на смех подняли. «Ты, — грит, — за кого нас принимаешь?» Всю эту номерную закуску назад, а заказали себе целое блюдо телячьих почек и четверть водки. «Это, — грит, — по нашему, по-сибирски»... Ну, обнаковенно, прислуге это самое дело удивительно, а управляющий даже сконфузился, потому в «Дрездене» первые господа останавливаются, а тут сразу такое безобразие. Однако все исполнили... Что же ты думал, они вдвоем целую четверть выпили и целое блюдо почек оплели, а сами даже ни в одном глазу. Люди как люди. Повременили малое место и заказали обед, за обедом опять пили всячины, а сами опять ни в одном глазу. После обеда посылают за мной, чтобы я ложу им в оперу достал. «Как, — говорит Ни-

кита, — записать прикажете в кассе?» «Граф Киваката[302] и князь Эншамо — так и запиши». Ну, Никита добыл им билет, вечером они поехали. Там уже капельдинеры встречают по-своему: ваше сиятельство, пожалуйте... Хорошо. Прослушали они одно действие, сходили в буфет, а потом и заснули в ложе-то. Натурально вся публика на них воззрилась... Сейчас капельдинер разбудил их и говорит: «Так и так, ваше сиятельство, никак невозможно, чтобы спать в театре». А те ему: «За свои-то деньги нельзя?» «Уж это как вам будет угодно, а только начальство... порядок...» Тогда они встали и ушли, а Никиту на другой день опять в театр: откупи нам эту самую ложу на целый месяц. Хорошо... Вася, да ты никак спишь?

— Нет, не сплю... Кто же это такие были?

— А ты слушай... Откупили они ложу в театре, а сами опять призывают Никиту и прямо подносят чайный стакан водки. Никита и в рот этого вина не брал, да и должность у него такая, чтобы всегда быть в аккурате. «Не могу, — грит, — ваше сиятельство...» «А ежели, — грят, — не можешь, так пошли кого по-

умнее себя». Ну, один лакеишка выискался было, а только не вытерпел: на втором стакане ослабел, под руки его из номера вывели. А они в амбицию: что это, грят, у вас за номера такие, ежели удовольствия себе получить нельзя за свои деньги? Одним словом, куражатся, и никакого с ними способа. Вот Никита-то и пришел ко мне: выручи, Григорий. А надо тебе сказать, что смолоду я очень был набалован и водки принимал до неистовства — недаром Галанцем прозвали. На Васильевском острову галанцы летами наезжали, ну, так я с ними хороводился: никто супротив них не может устоять касательно выпивки, а я даже превосходнее их себя оказывал. Конечно, глупость это наша одна... Так за это качество и прозвали меня Галанцем. В праздник нарочно меня наши водили в гавань, чтобы галанцев конфузить. Хорошо... Вот Никита и пришел за мной, чтобы я в «Дрезден» к ним завернул ублаготворить ихних гостей. Опять-таки моя глупость была: пошел. Ну, прихожу это в номер и даже диву дался — таких два осетра, что даже попревосходнее галанцев настоящих будут. Как два дубовых корабельных

бруса... ей-богу!.. Признаться сказать, я даже этак маленько оторопел, потому как сам ростом не дошел в настоящую меру. Они поглядели этак на меня: «Можешь?» «Могу, ваше сиятельство»... Натурально сейчас чайный стакан водки и сейчас другой, а я им: «Позвольте третьим закусить»... То-то глупость... Как я третий-то выпил, тогда один встал, подошел ко мне, обнял и расцеловал. «Вот это, — грит, — по-нашему, по-сибирски...» А потом: «Каков ты есть человек?» Очень я им понравился. Который меня целовал, и оказался вашим тятенькой, Карпом Лукичом Полуяновым, а другой-то Логин Евсеич Недошивин. Золотопромышленники сибирские, известное дело, приехали в Питер удовольствие себе сделать, а куда ни сунутся, везде им порядок: то нельзя, это нельзя, третье не полагается. Обидно им — сделалось, что препятствуют, значит, карахтеру; зачем, грят, мы ехали-то такую даль? А мне-то обрадовались, как родному, и сейчас вместо себя в ложу стали посылать, чтобы досадить кассиру. Ложа дорогая, а я каждый день и сижу в ней один. Из театра к ним в «Дрезден» и рассказываю все,

как и что было... Очень довольные были. Потом заказали отыскать им подходящую француженку, потому как много были наслышаны об этой нации. Денег у них бугры, ну и чудили... Вася, ты никак совсем спишь?

— Да нет же... Рассказывай.

— А на чем я остановился-то?

— Да на француженке... А клад-то скоро?

— Погоди, будет и клад...

III

— С этой француженкой у нас хлопот было весьма достаточно, — продолжал в темноте голос Галанца, — ну, кое-как приспособили. Настоящая француженка, свою квартиру держала на Малой Морской. Только прихожу я в «Дрезден» к Карпу Лукичу и докладываюсь: «Пожалуйте всякое удовольствие получить». А они этак переглянулись и смеются... Дело-было за ихним завтраком: блюдо почек и четверть на столе, все по форме. «Кому же, — грят, — ехать?» «Это, — грю, — вам ближе знать, а француженка готова в полной форме». Ну, посмеялись, закусили и начали как будто собираться... Между собой-то перепираются, а я стою в дверях и молчу. Только — со-

всем уж собрались, а покойник Логин Евсеич и говорит: «Карп Лукич, знаешь, что я тебе — скажу? Чем к французинке ехать и беспокоить себя, удивим лучше Галактиона Павловича... Он думает, что мы в Питере проваландаемся до осени, а мы к нему прямо на именины и подкатим, как снег на голову». Вот тебе и франнузинка, думаю про себя, — всю музыку испортят. Тятенька ваш как обрадуется. «И в самом деле, — грит, — чего мы здесь дураков валяем — все нельзя... Удивим Галактиона Павлыча!» Ну, я уж не стерпел и говорю: «Как же, — говорю, — с французинкой? Она, например, ждет в полной форме»... «А ты, — грят, — и поезжай к ней, как в театр за нас ездил, а деньги, что следовает, заплатим: так и скажись — сибирский князь Эншамо».

— Ха-ха... ловко! Что же ты, ездил... а?

Пауза. Галанец в темноте отплевывается и тяжело вздыхает. Вася еще громче хохочет.

— Что же, действительно ездил... — заговорил Галанец, когда немного успокоился от благочестивого негодования. — Главная причина — опять моя же глупость была: пообещали мне всю пару новую, верхнее пальто,

шляпу — одним словом, полный костюм от Корпуса. Карп-то Лукич разошелся и часы свои золотые на меня нацепил, а Недошивин перстни свои дал мне. Ох, согрешил я без конца перед господом богом...

— Что же француженка?

— Да ничего... Все одно, как и наши бабы, только одета чисто, даже до чрезвычайности чисто, и обращение имеет свободное. Ей удивительно посмотреть, какие такие сибирские князья бывают, а у меня своя глупость на уме — платье-то все у меня останется... Ох, глупость была, Васенька, а теперь вот и каюсь! Тьфу... Приезжаю я от французинки в карете, а они уж со всеми в дорогу собрались. Посмеялись надо мной, поспросили про французинку, а потом и говорят: «Айда с нами в Сибирь, Галанец! Будешь доволен, а ты нам по нраву пришелся»... Даже подумать хорошенько не дали: собирайся... Что же, думаю, ежели уж такая удивительная линия подошла... Склался я в полчаса и покатил, не знаю сам куда. Дальше своей Ярославской губернии не бывал, а тут на край света... Все-таки ничего, думаю, купцы богатые, не оставят.

Признаться сказать, с дороги малым делом чуть-чуть не воротился: так и тянет меня в Питер, и кончено. Как закрою этак глаза, и начнет представляться все: на Невском огни, музыка, швейка одна знакомая, полковники, с которыми на бильярде играл... Чем дальше едем, тем города мельче и народ совсем убогий живет, а бабы — одно только название, что бабы. Мне скучно, а им веселее. Едут и все Питер ругают... Очень уж это им слово не понравилось: «нельзя». Проплыли мы таким манером по Волге, повернули на Каму, а там уж по трахту закатили на двух тарантасах. Объехали эти самые горы и на сибирскую сторону перевалили... Чем дальше едем, тем веселее мои господа: «Вот это наше пошло». Сидят да похваливают... Ну, тут, действительно, и места начались другие и народ особенный. Прямо сказать: сибирский народ, варнак. Переехали Иртыш, катим по степи — и вдруг, братец ты мой, на одной станции и накрыли Галактиона Павлыча. Значит, сам исправник Чистый... Мои благодетели так и охнули: нарочно из Питера приехали, чтобы ему суприз сделать, а он и встрелся. Даже приуныли со-

всем. Исправник-то расспрашивает их про Питер, а они на меня показывают. «Вот, — грят, — у нас Галанец все произошел». И опять пить меня заставляют: надо же чем-нибудь удивить Чистого. А я как примечаю, что моим благодетелям даже совестно против него: и из Питера уехали не солоно хлебавши и его не могли удивить именинами. Даже из лица спали, туманные такие ходят оба и водку перестали принимать... Чистый-то сметил, в чем дело, и их же впредь на смех поднимает. Хоть назад ворочаться, так в ту же пору. Что же ты думаешь, ведь удумали они штуку... Хе-хе!.. То есть в лучшем виде... Сидим это мы на станции, а Карп Лукич похаживает и говорит: «Ах, ты, сахар ты мой, Галактион Павлыч, соскучился я по тебе...» Ну, натурально, сейчас выпивка. Что ни слово, то хлоп да хлоп... Чистый пьет наряду с ними, могутный человек, а свое дело помнит: «Господа, а мне некогда — через два дня именинник, надо домой поспевать». «Поспеется, сахар ты наш, а именинник не медведь — в лес не уйдет». И опять рюмка за рюмкой... Только и народ был: медведю, кажется, столько не выдер-

жать. И ведь уделали-таки Галактиона Павлыча... Пили они, пили, неочерпаемое, можно сказать, количество, пока он из настоящего разума не выступил. На ногах-то он держится, а разуму в ем уж нет. Помнит одно: ехать надо, потому именинник. Когда его нагрузили вполне, сейчас вывели под руки, усадили в экипаж и пожелали гладкой дороги. Лошади-то и не заложены, а Карп Лукич на козлы и по-ямщичьи ухает, а Недошивин дугу с колокольцами трясет... Потеха чистая! Чистый только мычит: «Пшол!..», — ну и, натурально, заснул. Дали ему с час поспать, а Карп Лукич опять, на козлы, а Недошивин за дугу... Тпру!.. Приехали, ваше скородие. Ну, конечно, Чистый ничего не понимает. Вывели его из экипажа, будто на другую станцию приехали, и опять пить. «Мы с тобой, — грят, — вместе на именины едем»... Ну, таким манером двои сутки Чистого из экипажа таскали в избу, а из избы в экипаж. А когда строк вышел, тятенька-то ваш разбудили Чистого, шапочку сняли и говорят: «С ангелом имеем честь поздравить, Галактион Павлыч»... Ей-богу! Что было смеху, что ругани... Чистый-то так расстерве-

нился, что мы едва от него тогда ноги уплели... Все-таки свое сорвали: удивили его, как он именинником-то проснулся. Ох, грехи тяжкие, точно все это вчера было, а никого уж и в живых нет!

— А клад-то когда будет?

— Да в свое время и клад.

IV

— Приехали мы и на место, Васенька. Понравилось мне, как жил Карп Лукич: дом — полная чаша, всего вволю, только птичьего молока недостает. И все этак на сибирскую руку приспособлено, не по-расейски, потому как жисть, значит, вполне привольная. Обзнакомился я со всем и живу себе. Выпал снежок, зима сибирская завернула, ну, мне уж и скучновато стало. Главная причина: делать мне нечего. Известно, нет-нет да и поманит на свою сторону, в Расею. Хорошо около меня, да только все чужое...

Раз этак около рождества очень уж я стосковался да и говорю Карпу Лукичу: «Отпустите меня домой, а то без дела чего же мне слоняться». А они только смеются: «Погоди, Григорий, в некоторое время ты мне пригодишь-

ся, а работа впереди. У нас все так; год на боку лежим, да одну неделю за два года работаем». Конечно, по-нашему, по-расейски, это даже весьма несообразно, ну, да делать нечего, нанялся — продался. Прошли святки, прошла масленая, а этак неделе на третьей поста Карп Лукич и говорит, чтобы я собирался в дорогу. Весь дом вверх дном повернули, точно вот на войну собираемся. Целый обоз снарядился с нами — значит, в разведки поехали. Хорошо.

Рабочих с нами за пятьдесят человек, конюхи, вожаки — войско, да и только. Молебен отслужили, все честь честью справили и в путь. Мамынька ваша провожает нас, а сама как река льется, потому неведомо, когда воротимся. Почитай, весь город сбежался на проводы. Я в кошевой вместе с Карпом Лукичом еду, в том роде, как обережной или подручный. Успел за зиму-то к каждой ихней привычке вполне привеситься: они еще только подумают, а я уже сделал.

Едем мы таким родом день, едем два, свернули с трахту на проселок, а с проселка в тайгу: ни конца, ни краю вплоть до китайской

границы. Поехали по тропам, по приметам... По дороге в двух местах сделали разведки, да только попусту. Гляжу я на Карпа Лукича и дивуюсь: совсем другой человек, а водки даже ни-ни. Такой у него зарок был положен, что как на дело, так водки ни капли. На первых-то разведках мы позадержались лишнюю неделю, а тут нас весной накрыло. Обождали водополь и поехали дальше верхами, а на стану караул оставили. Ну, тут настоящую муку мы и приняли: то гора, то болото, а то и на горе болото. Переправа за переправой, а речки быстрый да студеныя...

Всего удивительнее для меня оказывали себя лошади: сколь же умна эта самая скотина! По болоту идет, так с кочки на кочку перескакивает, на гору по камням царапается, под гору на хвосте идет — человеку так не сделать, как эта самая таежная лошадь. В седле-то сидеть страшно, только и глядишь, на который бок половчее упасть, в случае чего... А каково такой лошади под Карпом Лукичом идти: четырех лошадей в сутки менял. Ну, думаю, по этаким местам только душу спасать ездить... Приедем на стан — разогнуться нет

возможности. Чем дальше едем, горы выше, а в горах опять холоднее. Начали лошади в болотах вязнуть. Пришлось их оставить на втором стану с конюхами, а сами — пошли пешком.

Грузен был Карп-то Лукич, не может по болоту идти. Тогда нас на лубках с ним через болота перетаскивали... С неделю мы таким манером промаялись, всю душеньку вымотали. Не утерпел я и спрашиваю Карпа Лукича: «Куда это мы идем?» А он мне: «Клад будем искать... Слыхал про Поцелуиху?» Это почесть на самой китайской границе выходило, да и Поцелуих считали до десятка речонок— что ни речка, то и Поцелуиха, а дорога — пьяный черт ездил.

Долго ли, коротко ли, доехали мы до большой горы, Белок называется. Карп Лукич и говорит: «Здесь будет последний стан». Начали мы делать разведки в разные стороны. Везде есть знаки на золото, а настоящего дела все-таки нет: нестоящее золото для работы. Почесть целое лето мы таким манером прожили в лесу, обносились, озверели, на людей не стали походить. Этак раз, уж к осени дело было,

отбились мы с Карпом Лукичом от партии. От своего Белка пошли к другой дороге, — со стану глядеть, так рукой подать. Мы с Карпом Лукичом да трое рабочих — и все тут. Шли-шли, а гора точно от нас уходит дальше. Однако к вечеру добрели. Место глухое лес — овчина овчиной. Речка с горы выпала — опять, значит, Поцелуиха. Пошли вниз по речке. Вот тут нам и поблазнило...

Идем этак лесом, слышу, Карп Лукич кричит: «Стой!» Я-то позади всех плелся, потому измотался за день. Подхожу и вижу: стоит Карп Лукич осередь поляны и руками разводит, а на поляне камни чернеют. «Погли-ко, — говорит, — Галанец, какие камни-то»... Я приглядел и даже этак обомлел: на поляне-то все тумпасы, да по аршину ростом каждый... «Это самое место и есть», — шепчет мне Карп Лукич. Сколь же и местечко диковинное издалось, только вот в сказке рассказать! А речонка в двух шагах, и в ней такие же тумпасы, точно поросята, лежат в воде. Ударили уж в сумерках ширп на бережку: золото оказалось богатимое. Тут мы и заночевали...

А Карп Лукич всю ночь не спал: поле-

жит-полежит у огонька и опять пойдет осматривать эти тумпасы, да к речке — и мне не дал спать. Еще, думаю, утонет... Ах, какое это удивительное место было!.. Едва дождались утра, и опять ширп, по ту сторону речки золото еще лучше. По самой речке взяли пробы — опять золото. «Вот он, клад-то», — шепчет мне Карп Лукич, а сам точно пьяный сделался. Ну, поставили мы разведочные столбы, накопали ям и пошли к своему Белку. По дороге рабочие затески делали на деревьях, чтобы не заплутаться. Одним словом, все устроили по форме.

Только, сударь ты мой, едва мы вышли к своему Белку: вот тут она, наша гора, совсем на глазах, а пойдем к ней — она точно в сторону отойдет... Оказия!.. Так мы засветло-то и не могли выйти на стан и заночевали где-то в болоте. Утром просыпаемся: Белок-то саженях во ста от нас, мы, как кулики, в болоте мокли целую ночь. Только пошли мы на Белок уж с другой стороны, а не с той, где стан. В тайге это случается... Хорошо. Пришли на стан, поглядел Карп Лукич из-под ручки на гору, где мы были, и говорит: «Вон он, клад-то наш где

спрятался»... «Так точно, — говорю я, — Карп Лукич: здесь Белок, тут болото, а там гора, а из горы вынала Поцелуиха с тумпасами».

По-настоящему нам надо было торопиться к лошадям, чтобы загодя выбраться из этих местов, а Карп Лукич не утерпел, еще раз захотел побывать на кладовом местечке. Я остался на стану, а он повел с собой почитай всю партию. И что бы вы думали, сударь мой: три дня и три ночи искали они эту речку с полянкой, где мы ширпы били, да так и не нашли... Темнее ночи воротился Карп Лукич и только все спрашивали меня: «Галанец, ведь ты видел тумпасы?» «Точно так-с, Карп Лукич...» «Хоронится, — говорит, — от нас кладто, точно сквозь землю провалилась полянка с тумпасами».

Что же бы вы думали, сударь мой, мы ведь так ни с чем и выехали из тайги... Первая причина — снега поопасались, а вторая — весь припас у нас вышел, и народ нечем кормить. Ну, приехали домой, Карп Лукич веселый такой: ждет не дождется опять поста, чтобы по последнему пути на Белок выезжать. Нанял рабочих уж по-настоящему, сде-

лал всякую заготовку: харчи, одежду, машину, лошадей — в тайге-то негде взять, всякую малость с собой вези. Опять поехали на Белок по старой дороге и всю муку мученическую приняли в полной форме. Это легко рассказывать-то. Ну, и опять не нашли Поцелуихи. Так задарма целое лето пробродили по горам да по болотам, а домой опять воротились ни с чем. Затуманился мой Карп Лукич, потому как за два года шатания по тайге сильно деньгами подшибся. Однако на третью весну опять мы в поход собрались... Где только можно, везде денег добывали, а я стал примечать за Карпом Лукичом так, что будто он в исступлении ума делается. Начал даже затовариваться и все Поцелуихой этой бредит: видит ее во сне и наяву.

Опять поехали мы в тайгу и целое лето задаром прошатались, и все около Белка. Близко осени было дело, надо ворочаться домой, а Карп Лукич говорит: «Помру здесь, а найду Поцелуиху»... Крепкий был человек, а тут изняло. Ходит по стану и бормочет: «Это Белок — тут болото... тут гора, с которой выпала Поцелуиха». Уж это лето нам и задалось же:

мошки, комары — житья нет. Лошадей поморили, рабочие ропщут, а Карп Лукич все на своем стоит: здесь Белок, там болото, там гора, с которой Поцелуиха выпала.

Близко уж осени было дело. Я в одной палатке с Карпом Лукичом жил. Только раз просыпаюсь ночью, а в палатке кто-то плачет. И так тихонько плачет, совсем по-ребячьи. Достал я огня, гляжу, а это Карп Лукич: сел на постель, ухватил голову руками да и заливается... Ах ты, боже мой, что же это такое? Я его утешать, а он пуще... Да и меня на сумление навел. «Скажи мне, — грит, — помнишь ты отлично, как все дело было, когда мы полянку с тумпаеами нашли?..» «Даже, — говорю, — очень превосходно помню; как сейчас, вижу и полянку, и тумпасы, и речку, и место, где ширпы мы били». «Да, может, ты, — грит, — ошибся; обнесло нас, поблазнило... Мало ли что в лесу бывает с человеком!» «Что вы, — говорю, — Карп Лукич, спросите рабочих, которые с нами были...» Конечно, что тут спрашивать: на свои глаза свидетелей не надо, а просто Карп Лукич начал мешаться в своем разуме. Тронулся человек... Да и меня, при-

знаться, тоже оторопь взяла: в самом-то деле, не поблазнило ли тогда нам!..

Ну, сидим мы на стану под Белком, а уж пошли заморозки — того гляди, выпадет первый снежок, а тогда в тайге смерть без смерти. Лучшие вожаки плутают, потому как все приметы снегом засыплет, да и лес совсем другим оказывает. А Карп Лукич уперся — не пойду, и кончено тому дело. Уж мы его уговаривали и так и этак — приступу нет. Рабочие забунтовали... Ну, тут и вышел с нами грех. Ах, какой тяжкий грех, Васенька, случился, что, кажется, и не рассказать! Одна страсть...

Этак утром просыпаемся, выхожу я из палатки, а кругом бело, точно саваном покрыло все... Саван и был. Господи, что только тогда у нас было: рабочие-то совсем озверели и чуть Карпа Лукича не убили. Так с ножами к горлу и приступают... Известно, тоже не от ума люди на стену лезут. Ну, поругались, пошумели, забрали все, что можно, и ушли, а мы с Карпом-то Лукичом Едвоем и остались, да еще лошадь заморенная с нами. Я его уговариваю идти домок, а он свое толмит: помру здесь. А снег-то идет да идет. Ну, думаю, пришла наша

смертынька с Карпом Лукичом, догуляли...

Запасов осталось у нас дня на три всего, как я уговорил-таки его идти — не помню. Пошли, а лошадь за нами... И умная это тварь, лошадь. Столь она умна, столь умна, что вот только не скажет: чувствую, мол, я, что подвержена я во всем человеку и без вас мне пропасть. А партия-то, что раньше нас вышла со стану, на вторые сутки заплуталась в тайге. Пошли споры да раздоры: одни говорят — туда идти, другие — совсем наоборот. Разбились кучками, и всяк в свою голову ломит. Ну, таким манером они почитай все выбились из сил, да в тайге и перемерзли: кто с голоду, кто с натуги, других зверь задавил... Ох, незамолимый грех!.. А Карп Лукич свое: «Хоть бы помереть скорее, Галанец: один конец, а домой и идти не к чему».

Все-таки идем сколько можем, а за нами лошадь колченогая ковыляет. Мы остановимся — и она встанет. Когда весь харч вышел, Карп Лукич и говорит; «Мы ее приколем»... Ну, мне это уж против сердца пришло. «Что вы, — говорю, — сударь, какие вы слова выговариваете, точно на нас и креста нет... Да и не

об этом теперь думать надо: хоть бы господь христианской кончины сподобил, а вы лошадь колоть. Не татары мы, слава богу...» В одном месте нашли замерзлого человека из нашей партии. Ну, совсем у смерти... конец...

И что же бы вы думали, сударь вы мой? Наша лошадь-то ковыляла за нами, а потом вперед нас пошла. И как идет: пойдет, пойдет и остановится, чтобы мы подошли. «Ой, — говорю я Карпу Лукичу, — жилье она чует...» Голод уж очень донимать нас стал, отощали вконец и только кору осиновую жевали. Только этак мы идем за нашей лошадью, я вижу под снегом будто след. Показываю Карпу Лукичу, а он не верит: наваждение, говорит. И что бы вы думали, сударь мой? Ведь вывела! она нас, эта самая лошадь, прямо на партию привела — к Недошивину; храпом своим лошадиным учуяла живых людей. Пришли мы к Недошивину ни живы, ни мертвы, да так нас из тайги и домой отправили, а Карп Лукич с этого самого времени замолчали. До самой своей смерти ни единого словечка не вымолвили; то ли это с голоду, то ли с заботы, или поблазнило чем, — не умею сказать. Име-

ние все разорили, — одним словом, все богатство по ветру разнесло... Вот он какой, клад-то, на Поцелуихе выдался нам... Вася, да ты никак спишь?

V

Когда Анна Галактионовна проснулась на другой день в своем номере, первой ее мыслью было: где Васька? Положим, это не первый раз, что он ночевал где-нибудь в бильярдной, — и притом без сапог далеко не уйдешь, — но все-таки она встревожилась и позвонила.

— Позовите ко мне Василия Карпыча, — приказала она номерному лакею.

— Их нет-с...

— Как нет? Куда он без сапог уйдет?..

— Так точно... С нашим маркером ушли-с; Галанцем называется, то есть маркер. Он им и сапоги приспособил... Надели котомку и ушли...

— Это интересно, куда они могут уйти...

— А пошли какой-то клад разыскивать... Конечно, не от ума, а только у старика-то деньги с собой. На смертный час готовил, а теперь дело повернулось на клад...

Через год в одной из сибирских газет было напечатано коротенькое известие, что поисковая партия наткнулась в тайге у китайской границы на два «неизвестных трупа» — очень может быть, что это были старик Галанец и Вася.

Морок

(Очерк)

I[303]

Зачем Никешка подымался ни свет ни заря, на Чумляцком заводе этого никто не мог сказать. А он все-таки вставал до свистка на фабрике, точно службу служил. Подымется на самом «брезгу», высунет свою лохматую голову в окно и глазеет на улицу, как сыч. Добрые люди на работу идут, а Никешка в окно глядит и не пропустит мимо ни одного человека, чтобы не обругать. Особенно доставалось от него соседям — старику Мирону и дозорному Евграфу Ковшову. Мирон жил рядом, а Ковшов — напротив.

— Пропасти на тебя нет, Никешка! — говорил Мирон при каждой встрече и укоризнен-

но качал головой. — Погляди-ка, ведь седой волос занялся у тебя в бороде, а ты все не в людях человек. Хошь бы уж помер, право...

— Сперва погляжу, как вы все передохнете, — отвечал Никешка с обычной дерзостью. — Получше других человек завелся, так вам бы в ноги ему кланяться... так я говорю? Вот ты, Мирон, за дочерями-то гляди в оба, чтобы прибыли какой не вышло.

— Никешка!..

— Я давно Никешка.

— Тьфу!.. Собака и есть собака.

Старый Мирон, благочестиво отплевавшись, поскорее убирался в свою пятистенную избу. Ему было всего пятьдесят лет, но на вид — старик стариком. Сказалась тяжелая огненная работа, на которой человек точно выгорает. Давно ли Мирон жил паном, дом был полная чаша, а потом разнемогся, и все богатство сплыло. Правда, осталась старуха-жена да три дочери, и только. Были два сына, поженились и ушли своим домом жить. Таких «стариков до времени» в Чумляцком заводе было много, и везде повторялась одна и та же история.

Другой сосед Никешки, дозорный Ковшов, жил крепко и богател тугим мужицким богатством. Попав в заводское начальство, он не забывал себя: поправил домишко, обзавелся скотиной, купил ведерный самовар и быстро начал толстеть. Одним словом, человек попал на легкий хлеб и жил в свое удовольствие. Благополучие Ковшова отравлялось только соседством Никешки, который не давал ему проходу. Чтобы не встречаться со своим врагом, Ковшов уходил иногда на фабрику огородами, точно вор. Но все равно никакая политика не могла спасти его от Никешки. Идет Ковшов с фабрики с правилом в руке и старается не замечать своего соседа, но Никешка уже орет на всю улицу:

— Еграфу Палычу сорок одно с кисточкой... Эх, сосед, айда ко мне в помощники: я ничего не делаю, а ты помогать мне будешь!

Сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах довольно трудно, и Ковшов должен был ругаться.

— Острог-то давно о тебе плачет, Никешка... Мотри, не ошибись: только даром время проводишь в своей избушке.

— А, вы Еграф Палыч, слава богу, мучки аржаной возик купили... — не унимался Никешка. — Где господь железка пошлет, где бревешко подвезут даром, где что, а хорошему человеку все на пользу... Вот как хорошие-то люди живут: у скотинки хвост трубой, в сундуках добро не проворотишь, а беднота кланяется Еграфу Палычу, потому как он сам перед начальством хвостом лют вилять. Так я говорю? Собаки чужие не лают на Еграфа Палыча... Дым у него из трубы столбом идет...

— Тьфу, окаянная душа!..

Все, что делалось в доме Ковшова, Никешка знал лучше, чем свои собственные дела, и оповещал всю улицу. Еграф Палыч жене палевый платок купил, а себе завел сапоги со скрипом; у Еграфа Палыча сено само на сарай приехало; Еграф Палыч лошадку новую собирается купить, потому что старым лошадям делать нечего, и т. д., и т. д. Выведенный из всякого терпения, Ковшов несколько раз хлопотал, чтобы общество выключило Никешку из своего состава; но эти подходы не удавались. Даже выставленное волостным старичкам вино не помогало: выдерут Никешку, и

только. Секрет заключался в том, что Никешка был отличный конский пастух и ни одну лошадь не даст украсть.

Так и жил Никешка в своей проваленной избушке, покосившейся на один бок. Делать запасы дров он не имел привычки и помаленьку топил печь разным домашним строением: сначала сжег амбар, потом баню, прясла и даже ворота, а теперь принялся за крышу — стащит драницу и в огонь. Жил он бобылем, и единственную живность в его хозяйстве составляла сивая кривая кобыла. И скотина была по хозяину: зиму и лето жила под открытым небом, а питалась чем бог пошлет. Была у Никешки жена, было хозяйство, но все это ушло при ближайшем участии закадычного приятеля Никешки, кабатчика Пимки, который не только перевел за себя все, что можно было взять у Никешки, но по пути захватил и его жену — Маланью. Когда друзья напивались, они начинали колотить несчастную бабу вдвоем.

На заводе Никешка известен был под именем Морока, и это прозвище он носил не без достоинства. Только соседи называли его про-

сто Никешкой.

II

Ласковое апрельское солнце едва занималось, а Никешка уже сидел у своего окна и глядел на улицу. Уральская весна поздняя, и, несмотря на последние числа апреля, кое-где еще лежали кучки почерневшего и точно источенного червями снега. Весенняя грязь за ночь покрылась тонким слоем льда, который хрустел и ломался под копытами лошадей, как стекло. Накопившаяся за зиму дрянь, которую чумляцкие обыватели выкидывали за неимением помойных ям прямо на улицу, теперь точно вылезла из земли и задерживала таяние последнего снега. Никешка смотрел вдоль улицы на новую крышу новой избы Ковшова и любовался собственной кобылой, которая не без ловкости подбирала отвислыми старыми губами клочки гнилого сена, валявшиеся на улице.

— И тварь только: чем, подумаешь, жива? — удивлялся Никешка добычливости своего единственного живота. — Не хочет помирать, подлая... брюхо-то, видно, не зеркало!

Пригретый весенним солнышком, Никеш-

ка задумался о лете. Вот пройдет с гор вода, и везде-то займется трава. Поведут тогда все лошадей в пасево, выедет он, Никешка, на своей кобыле, как следует пастуху, — лето-то и пройдет шутя. Кобыла всегда успевала отъедаться к осени, хотя и летом Никешка не считал нужным ее кормить: сама должна себе пропитал добывать, на то она и кобыла. Деньгами да кормом скотины тоже не укупишь, как делает Ковшов и другие толстосумы.

А солнышко так и греет, так и греет... Смертная лень одолела Никешку: высунул башку в окно и сидит. Скоро вот на фабрике свисток завоет, народ побежит на работу... Дураки!.. А Никешка будет сидеть да поглядывать. Когда надоест сидеть, пойдет к Пимке, — не подвернется ли какой хороший человек. Никешке тоже иногда перепадают даровые стаканчики водки: загуляет человек, что ему стоит угостить. Бывает, что и Никешка пригожается... Худ-худ, а без него тоже дело не обходится.

Задымили печи у проворных хозяек, поднялся медленный шум закипавшего дня, на-

пахнуло крепким весенним ветерком. Никешка зажмурился от удовольствия, а его широкое, бородатое лицо с заплывшими глазками даже покрылось маслом. Кобыла, набившая себе брюхо разной дрянью, тоже дремала на солнышке, и Никешка еще раз подумал: «Ишь, подлая тварь, чувствует». А свисток уж скоро. Никешку позывает на сон. Голова свешивается, как отшибленная, и солнце греет теперь только самую макушку с поредевшими темными волосами.

— Никешка… Морок!..

— А?.. Что?.. Эк вас взяло!.. — мычит Никешка, стукаясь головой о верхний косяк окна. — Ну?..

— Недавно ослеп: без очков-то не видишь?.. — повторяет тот же сердитый голос.

— Что глядеть-то?.. Ишь расшеперился: не велик в перьях-то!

— А ты не корачься, Морок… Добром тебе говорят: куда дел сапоги? Где ты вечор-то был, окаянная душа?.. Окромя тебя, некому украсть сапогов…

Никешка несколько время молчал, как человек, удрученный сознанием, что действи-

тельно, кроме него, некому украсть сапогов. Да и староста налицо, и понятые, и Егранька Ковшов выбежал на улицу в одной рубахе, счастливый чужим безвременьем.

— Какие сапоги? — удивляется Никешка точно про себя.

— А вот мы тебе, Мороку, покажем, какие!..

— Он, он украл!.. Верно... — кричал Ковшов, размахивая руками. — Да вы чего с ним разговариваете? Айда, волоки прямо в волость!

Происходит некоторое колебание. Нужно все по форме сделать: может, не найдется ли поличное? Мужики идут прямо в избу. Никешка встречает их спокойно и даже не поднялся с лавки.

— Обыскивай, а то я и сам ничего не найду, — подсмеивается он.

— Не заговаривай зубов-то, — ругается староста, заглядывая на пустые полати. — И чем живет человек?.. А сапоги все-таки ты, Морок, упер!..

— Поищите, может, двое найдете.

Обыск кончается в несколько минут: кроме ременного пастушьего хлыста, в избе ни-

чего не оказалось, — все свои богатства Никешка носил на своих плечах.

— Айда в волость! — кричал в окно Ковшов: в избу он не смел войти. — Наверно, у Пимки в кабаке сапоги, потому, кроме Никешки, некому... Известный заворуй!.. Из кабака не выходит...

— Отвяжись, судорога! — ворчал Никешка, подпоясывая свой рваный полушубок. — Посоли лучше свой-то самовар да ступай чай пить. Ну, староста, не то пойдем в волость...

— И то пойдем... — равнодушно соглашается староста, быстро израсходовавший весь свой административный пыл.

На улице уже столпилась куча любопытных. Все желают посмотреть, как поведут Морока в волость. В толпе баб главным действующим лицом является чахоточный синельщик[304] Илья, который в таких случаях незаменим: кричит, машет руками и бросается в разные стороны, как бешеный. Горбун Калина, единственный «чеботарь» в Чумляках, молча стоит со старым Мироном. Появление Морока произвело известное впечатление на толпу: он выше всех ростом и с такою уверен-

ностью шагает по самой середине улицы.

— Мы тебе, милаш, по-ок-кажем, какие сапоги бывают! — повторяет староста, не желающий дискредитировать свою власть на людях.

— Горячих ему!.. Горячих!.. — орет вдогонку Ковшов.

Процессия торжественно идет вперед, потом спускается к заводскому пруду и делает легкую остановку у кабака Пимки. Заведение пристроилось как раз на самом юру, так что и в фабрику, и в церковь, и на базар народ идет мимо. Пимка выскакивает в простой кумачной рубахе.

— Подавай сапоги! — кричит ему староста еще издали. — Окромя тебя, негде им быть.

— Да я... а-ах, божже мой! Да вот провалиться... да будь я трою проклят, ежели касательство какое! — клянется Пимка, пойманный врасплох. — Да мало ли ко мне народу всякого шатается?

— Сапоги!

Пимка моментально исчезает, и в ответ на приказание старосты из кабака летят искомые сапоги. Староста медленно поднимает их

с земли, оглядывает и утвердительно кивает головой: «Они самые, в настоящую точку, как показывала Дунька Ковригина»... Сапоги приобщаются к делу, и процессия продолжает свое шествие.

Окруженный понятыми, Никешка идет своим развалистым шагом и старается не смотреть на встречных. На повороте в гору нагоняет эту толпу мужиков веселая гурьба заводских поденщиц, которые торопятся поспеть до свнстка; Никешка инстинктивно оглядывается, и один этот взгляд останавливает говорливую поденщицу.

— Ты чего уперся, столб? — ругается староста и начинает толкать Никешку в спину краденными сапогами. — Вот они, сапоги-то! Погоди, мы тебе покажем...

Но Никешка продолжает стоять на месте и старается разглядеть молодое девичье лицо, которое прячется в толпе поденщиц.

— Да ведь это Даренка... — вслух удивляется он, занятый своими личными соображениями. — Последняя у Мирона девка ахнула... а?..

Ответа нет. Из толпы поденщиц выступает

только отпетая солдатка Матрена, старшая дочь Мирона, и вызывающе смотрит на заворуя-Морока.

— Ступай, ступай! — кричит староста, упираясь в спину Никешки обеими руками. — Эко дерево, подумаешь...

— Хошь бы ботинки украл да мне подарил, — смеется Матрена, подступая ближе.

— Куда ты Даренку-то ведешь, отпетая? — как-то глухо спрашивает ее Никешка.

— Никто ее не ведет: своей волей пошла. А тебе какая печаль сделалась?

Все поденщицы одеты бедно, но с тем шиком, как одеваются на заводах. Поношенные ситцевые сарафаны подтыканы, чтобы показать юбки с пестрыми подзорами; на головах большею частью кумачные платки. Матрена всех наряднее и смотрит кругом потерявшими всякий стыд глазами. Младшая ее сестра, Дарья, вышла еще в первый раз на поденную работу и одета совсем бедно. Она напрасно старается спрятаться в толпе от испытующего взгляда Никешки. Подруги ее подталкивают. Никешка быстро повернулся и сосредоточенно зашагал в гору к волости. Загудел свисток

на фабрике — и толпа поденщиц бросилась врассыпную.

III

В волости с Мороком происходила всегда одна и та же история: волостные старички для формы устраивали короткий суд и немедленно пороли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. В результате все оставались довольны.

— Черти, право, черти! — ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Скоро коней выгонять, так я вам покажу... Эка важность: сапоги! Тоже нашли...

В Чумляцком заводе Никешка играл оригинальную роль единственного вора, и при всякой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили вовремя и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденое

при посредстве кабатчика Пимки уплывало в неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буянить; но его все-таки пороли и держали на высидке больше обыкновенного. Единственный вор на весь завод, — значит, чего с ним толковать. Случались серьезные дела, как увод лошади, тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом пороли и сажали «в карц». Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он гарцевал на ней с пастушьей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях; на себя она тоже никого не пускала, — била задними ногами, кусалась и в заключение опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая

осталась без всякого призора. Положим, она никуда не девается, но все-таки было жаль.

Итак, Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрену, и точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Даренка пряталась от него давеча?.. На погибель вела ее солдатка: уж какая девка, ежели в поденщину попала — вся чужая. Плохо, видно, Мирону приходится, ежели он последней дочери не пожалел.

«Сплоховал старик, — думает Никешка, закрывая глаза, — Надо бы повременить: может, какой бы жених выискался на Даренку».

К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрик, несмотря на то, что его и пороли, и морили высидкой, и сдавали в солдаты, — ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка! Он точно переродился и проработал лет пять как следу-

ет. Появился у Никешки свой домишко, хозяйство, и в заключение он женился. Все шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел: явился к управителю и заявил, что больше работать не будет.

— Почему? — удивился управитель.

— А так... Что же, собака я, что ли, что буду вам по свистку на работу выходить?

— Да ты с ума сошел...

— Все равно толку не будет...

— От свистка?

— От его от самого...

Как сказал Никешка, так и сделал: не хочу, и все тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг.

— О, чтобы тебе подавиться! — ругался он, посиживая у окна.

Даже в пасеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки: свисток все-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землей.

Нажитое добро было прожито с порази-

тельной быстротой, и Никешка окончательно попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабатчику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и все сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет, — а лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона: вот человек работал, выбивался из сил, а под старость все-таки пошел по миру. Другое дело Егранька Ковшов: он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, все зло заводского существования для Никешки сосредоточилось в паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И Даренку он пожалел потому же: под свисток пошла — пиши пропало. Уж если мужику пропасть, то девке — вдвое.

IV

Наступило лето, а следовательно, Морок гарцевал на своей пегой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Ни-

кешка не спал ночей, оберегая общественное добро. Конское пасево было отведено «с незапамятных времен» в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елани, старом, заброшенном курене, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводский табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на заводе не было, и лошади отдыхали в пасеве. Десять человек пастухов с Мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченных тавром копыт. Пастушье дело — самое проклятое, особенно, когда лошадь отобьется от своего табуна и уйдет в горы: извольте ее искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кой-где засели глухие лесные деревушки. Все лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со своей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно.

Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам Морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой.

— Черт на нем едет, что ли? — удивлялись пастухи. — От хлеба отбился человек.

— Стар стал: кости болят... — уклончиво объяснил Морок. — Тоже бьют-бьют человека, а к ненастью поясницу ломит во как.

Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он все думал о Даренке. Втемяшилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрик? Даренка «защеголяла»: явились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые «подзоры» на юбках, стеклянные бусы на шее, а автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Даренке, хотя дело это было самое обыкновенное: вся бабья поденщина с солдаткой Матреной во главе — на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую ни за грош девку.

В своих разъездах по заводской даче Мо-

рок не один раз завертывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синельщика Ильи, чеботаря Калины, — тоже единственные люди в Чумляцком заводе, как был единственный вор — Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Егранькe Ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним.

Страда на заводах — самое лучшее время: весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избушек, и по всем покосам катились веселые песни. Старики. конечно, рады были месту, а веселилась неугомонная молодежь: день-деньской с косой, а вечером — гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один старик Мирон, а остальные были все бабы: старуха Арина, солдатка Матрена, Прасковья и Дарья. Отделенные сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но известно, какая бабья работа: то, да не то. А тут еще солдатка Матрена куролесила: то одного приведет, то друго-

го, да еще и сама пьяная напьется. Конечно, дивить на солдатку было нечего: непокрытая голова, и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один Мухачок чего стоил: приедет верхом и начнет куражиться, а худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон все это видел, но молчал. Да и что он мог поделать, когда сам посылал дочерей на фабрику: нужно пить, есть, одеться, а сам он какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке, — натруженные кости ноют, спина болит, каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные, и работа идет мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаниями: у других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнет, — конечно, старухе обидно.

Раз, когда после обеда Мирон лежал в балагане и раздумывал свои невеселые старые думы, кто-то подъехал верхом.

«Опять, видно, Мухачок», — подумал Мирон и притворился, что спит.

— Старичку! — послышался знакомый голос. — Жив, Мирон?

— Это ты, Илья?

— Около того...

Это был Никешка на своей сивой кобылке. Нагнувшись, он пролез в балаган и с трубкой сел на порог.

— А ведь я-то тебя за синельщика принял, — жалостливо заговорил старик. — По голосу смешал... ох-хо-хо!.. Другие-то робят, а я вот лежу...

— Все будем лежать... Ты свое обробил все, — философски заметил Морок. — Работы не проробишь, а тебе и замениться кем помоложе пора.

— Да замениться-то некем.

Мирон рад был живому человеку, которому мог пожаловаться на свою жизнь, все же суседи. Да и скрывать нечего было: весь завод был на слуху. Посидел Никешка, поговорил и уехал, а Мирон долго думал, зачем мог приезжать к нему Морок.

«Так, шалый», — решил про себя старик.

А Никешка приехал и во второй и в третий раз. Сначала закинул заделье: не видали ли пегой лошади? — а потом хлеба выпросил. Солдатка Матрена подняла было его на смех,

но Мирон ее остановил.

— Худ он для себя, а не для нас... Оставь, зуда! Тоже суседи называемся...

Однажды, когда старик вышел из балагана посмотреть на работу, он даже остановился от изумления. Покос доканчивали, и оставалось пройти последнюю мочажинку. Солдатка косила в березняке, а мочажинка досталась Дарье. Теперь Мирон увидел такую картину: Даренка сидела на траве и перевязывала порезанную вчера ногу, около нее ходила по траве сивая кобыла, а в мочажинке работал Никешка. И как работал: только коса свистит... Старый Мирон залюбовался на эту настоящую мужицкую работу, а Никешка так и прет полосу за полосой. Могутный человек, одно слово.

— Вот бог работника послал, — вслух проговорил Мирон, подходя к дочери.

Никешка даже не оглянулся, а только поплевал на руки и еще сильнее ударил косить. Даренка смутилась и хотела взять у него косу.

— Постой, дай кончить, — отозвался Никешка, не глядя на нее. — На себя не роблю, так хоть тебя заменю. Куда ты без ноги-то в

осоку полезешь, дура?..

Пришла старая Арина и тоже полюбовалась на Никешкину работу. Старики даже вздохнули о собственных молодых годах, тогда у них работа горела в руках, а по пути вспомнили и про непокорных сыновей, работавших теперь на себя. А Никешка все косил, — расстегнул ворот рубахи, бросил шапку, снял сапоги.

— Ну, теперь прощайте! — сказал он, когда от мочажинки осталась одна зеленая щетина да валы свежей кошеницы.

— Куда ты, Никифор? — проговорил Мирон. — Оставался бы с нами поужинать.

— Нет, мне недосуг... Спасибо.

— Зачем свой-то покос людям сдаешь, Никифор? Вот бы и робил на себя... Глядишь, на зиму и с сеном.

— А для кого мне косить-то?.. Ну, прощайте!..

Никешка даже не взглянул на Даренку, сел на свою кобылу и уехал. Старики молча поглядели ему вслед и по обыкновению промолчали. Даренка тоже молчала: она боялась, что Морока видела Матрена. Загорелая, здоровая,

Даренка была девка хоть куда, если бы не худая фабричная слава. Она долго стояла, не двигаясь, глядя на выкошенное место. Не испытанная еще тоска сдавила ее девичье сердце: вот если бы она была замужем, то-то спорая пошла бы работа.

Когда Даренка вечером пришла с косой на плече к балагану, старая Арина с какой-то особенной ласковостью посмотрела на нее и даже поправила выбившиеся из-под красного платка светло-русые волосы. Когда их глаза встретились, девушка поняла, что мать жалеет ее, и это еще больше защемило ее сердце. Ночью Даренка тихонько плакала, не зная о чем, а старик Мирон лежал и думал:

«Пожалел Никешка девку... Тоже вот поди: шалый, а пожалел».

V

Наступила осень. Сивая кобыла опять бродила по улицам Чумлянкого завода на полней свободе: значит, Морок был дома, и его голова торчала из окна избушки.

Было ясное осеннее утро. Земля, скованная первым морозом, звонко гудела под ногами. Издали было слышно, как катились телеги.

Никешка сидел на своем посту и ждал, когда загудит на фабрике проклятый свисток. Он сидел в новой ситцевой рубахе, всклоченные волосы были намазаны коровьим маслом, и вообще в Никешке случилась перемена. В доме Егранькн Ковшова происходило какое-то таинственное движение, и из-за косяков мелькали любопытные лица, а Никешка все сидел, поджидая свисток.

— Ишь, тварина, где-то наелась-таки! — вслух удивился Морок, когда в конце улицы показалась сивая кобыла, направлявшаяся домой. — То-то дошлая скотина!..

Приближавшийся топот невидимых ног заставил Никешку оглянуться на противоположный конец улицы: там, от кабака Пимки, медленно подвигалась целая толпа народа. Морок сразу узнал старосту, старика Мирона и понятых. Все шли не торопясь и остановились у избы Мирона. Вышла на улицу старуха Арина и запричитала, указывая на избушку Морока. Понятые смущенно молчали и только переминались на месте, как стадо овец, наткнувшееся на волчье логовище. Потом староста перешел на другую сторону улицы, и

все сгрудились у избы Ковшова. В окне высунулась голова самого Егранькн и закричала:

— Что вы на его смотрите: тащите в волость — вот и весь сказ! Не больно важное кушанье. Да горячих ему залепить, да в карц, да опять горячих, да...

— Оно, конечно, следствует, — соглашался староста, поглядывая на избу Никешки. — Даже весьма следует... гм... да...

Не впервой... то есть три шкуры спустить... Прежде сапоги да коней воровал, а теперь... да...

— Берите его! — орал Егранька, входя в азарт. — Прямо за волосы волоките!.. Катай его!..

Эти вопли не производили надлежащего действия на толпу: мужики переминались, подталкивали друг друга и вообще из решались приступить к действию. Решительный момент наступил, когда к толпе присоединились чахоточный синельщик Илья и чеботарь Калина. Под их предводительством толпа отделилась от избы Ковшова и через улицу направилась к избушке Морока. А Никешка все сидел в окне и с спокойствием записно-

го философа ждал, что из всего этого произойдет.

— Бей его... катай!.. — орал Егранька, перебегая от окна к окну. — Бери...

Не доходя несколько шагов до избушки, толпа остановилась. Наступил новый момент нерешительности, пока староста не приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

— Мы к тебе пришли, Морок...

— Вижу.

— Ну, так ты уж того... да... Айда в холодную! Прежде сапоги воровал, а теперь девку чужую увел... Подавай Даренку, а сам айда в волость.

— Ну нет, брат, шабаш! — закричал Морок, показывая в окно кулак. — У Даренки свои ноги есть, а я шабаш... Будет!

— Никешка, дьявол, тебе добром говорят!

Подбежавшая к окну старуха Арина хотела было схватить Морока прямо за бороду, но тот уклонился. Поднялся сразу страшный гвалт, — все кричали, ругались, показывали кулаки. Общественная нравственность была оскорблена и требовала отмщения. Главное,

женатый мужик увел девку, да еще и увел у суседа, — это было невозможно... Даренка действительно сидела в избушке Морока, бледная, перепуганная, плохо сознававшая, что происходило около нее. Она слышала только вопли матери и не смела шевельнуться. Что им нужно?.. Даренка ушла к пропащему человеку Никешке потому, что это был единственный человек, который ее пожалел. На фабрике она переходила с рук на руки, как пущенная в оборот монета, и везде было одно и то же: ее сначала заманивали, дарили что-нибудь для первого раза, напаивали водкой, а потом следовали побои, издевательства и позор. У одного Никешки нашлось для нее теплое, ласковое слово, и она пришла к нему: он такой сильный и не даст никому в обиду. Ей, как уличной собаке, так немного было нужно...

А Морок стоял у окна, выпрямившись во весь свой рост, и ждал приступа с спокойствием решившегося на все человека.

О, он теперь не дастся им живой в руки и Даренку не даст: пусть попробуют!.. Дверь была заперта на задвижку, и, чтобы попасть в

избу, нужно было ее выломать. Чья-то рука уже пробовала ее, и Никешка закричал не своим голосом:

— Не подходи... убью!

Этого было достаточно, и в окно полетели камни, поленья и куски замерзшей грязи. Подслеповатые зеленые стекла вылетели с жалобным звоном, а переплет гнилых рам представлял собой плохую защиту. Из избушки в ответ на эту канонаду полетели какие-то черепки и целые кирпичи. Толпа, встретив такой ожесточенный отпор, отступила, и опять наступило затишье.

— Никешка, говорю тебе добром: выходи... — попробовал еще раз староста усовестить разбойника. — Хуже будет.

— Убью!.. — ревел Никешка, бросая из окна досками от развороченных полатей. — Не подходи...

— Валяй его! — орал через улицу Егранька, бегая у своей избы.

Староста снял шапку, почесал затылок и, повернувшись спиной к избушке Морока, проговорил:

— Ребята, пойдемте домой!

Приисковый мальчик

I

Для Ермошки последний Ильин день останется навсегда в памяти, как день удивительных приключений и еще более удивительной его собственной, Ермошкиной, изобретательности.

По праздникам Ермошка обыкновенно околачивался у приисковой конторы или господского дома. Своя казарма пустовала, потому что рабочие расползались в разные стороны и возвращались домой только к утру, если были в состоянии это выполнить. Ермошка тоже слонялся целый день на полной своей воле и, по примеру больших рабочих, приносил с такого праздника подбитый глаз или какое-нибудь другое праздничное увечье.

На прииске Любезном Ильин день праздновался особенно широко, потому что главная шахта называлась «Ильинской».

Итак, Ильин день наступил. Ермошка проснулся по обыкновению рано, но провалялся на своей наре лишний час, благо сегодня ему не нужно «гонять барабан». В отво-

ренную дверь казармы заглядывало горячее, летнее солнце, так что глазам было больно. Первым делом Ермошка сбегал к ближайшей выработке и приблизительно умылся, то есть размазал по лицу полосами ярко-желтую приисковую глину. Затем он надел новую ситцевую рубаху, плисовые порыжелые шаровары, пригладил скатавшиеся копной волосы на голове и почувствовал себя окончательно в праздничном настроении. Возвращаясь через казарменную кухню, Ермошка воспользовался отсутствием зазевавшейся артельной стряпки Леканиды и стянул порядочную краюху пшеничного хлеба, которую и спрятал с ловкостью записного вора под нары.

— Ах, ты, пес! — крикнул на него лежавший на печи старик Осип, служивший шорником. — Вот ужо я скажу Лекани-де-то, так она те расчешет башку-то...

Ермошка запустил в старика валявшимся на полу старым лаптем и ретировался. Покрытое веснушками и загаром, скуластое лицо Ермошки дышало завидным здоровьем, а серые глаза смотрели с откровенным нахальством настоящего приискового мальчишки,

выросшего в рабочей казарме без всякого призора.

Позавтракали сегодня рано, потому что народ торопился разойтись по промыслам, и многие не обещались вернуться даже к обеду. Нахлебавшись щей из толстой крупы с забелой из сметаны, Ермошка отправился в поход вместе с другими.

Стряпка Леканида, конечно, хватилась недостававшей краюшки, но махнула рукой на разбойника: за обедом раскроется хлебом, который останется от загулявших рабочих... Да и то сказать, Леканиде было не до Ермошки: она торопилась поскорее убраться у печи, чтобы отвести свою приисковую душеньку на гулянке.

Прииск Любезный занимал большую площадь, перерезанную с угла на угол болотистой речонкой Шабейкой. Издали и вблизи общая картина имела совсем унылый вид: плоская болотистая равнина, тощий болотистый лесок, грязные дорожки и кое-где громадные выработки и целый ряд приисковых построек. Рабочая казарма, в которой жил Ермошка, стояла уже на борту выработавшейся

золотоносной россыпи, — работы были отодвинуты чуть не за версту. До приисковой конторы от казармы было с версту. На пути стояла знаменитая Ильинская шахта, давшая владельцу Любезного больше пятидесяти пудов золота; снаружи деревянный корпус, защищавший шахту, ничего особенного не представлял — деревянный сарай с высокой железной трубой, и больше ничего... Железная труба вечно дымилась, потому что паровая машина день и ночь откачивала тяжелую и холодную «рудную» воду. Она же вертела стальные бегуны, дробившие кварц в каменную муку. Каждый уголок на прииске был известен Ермошке, как свои пять пальцев; он и песок с россыпи возил по железной дороге на машину, и у паровых котлов ходил, и на машине состоял, и канавки для воды проводил, а теперь «гонял барабан», то есть целый день ездил на паре лошадей кругом громадного деревянного барабана, на который наматывалась снасть, «выхаживавшая» из шахты бадью с породой или «пустяком». Проходя мимо своего пустовавшего по-праздничному вагона, Ермошка лихо свистнул на невидимых ло-

шадей, — свистел он ухарски, так что непривычный человек вздрогнет.

— Гли-ко, робя, это что у конторы! — крикнул Ермошка, вглядываясь вперед. — Никак, гости приехали...

Не дожидаясь ответа, Ермошка уже летел вперед на всех рысях, так что сверкали только его голые пятки. Надо было поспеть вовремя и разузнать, кто приехал, откуда и зачем. Чужие люди редко показывались на Любезном и являлись жертвой неудержимого любопытства Ермошки. Он еще издали заметил, что приехавшие были люди необычные. У подъезда господского дома понуро стояла старая сивая лошадь, запряженная в странной формы повозку, — это были простые дроги с плетеным кузовом, защищенным от враждебных стихий парусиной. Так никто на промыслах не ездил... На крылечке стоял, вытянувшись в струнку, швейцар и обережной хозяина, по прозванию Гусь, а перед ним без шапки переминался с ноги на ногу какой-то бритый человек с длинными усами. Из экипажа выглядывало бледное женское лицо.

— Сами Вукул Ефимыч приказали, — по-

вторял бритый человек. — Так как они видели нашу игру и весьма одобряли... Да. Мы в Елковском заводе представление имели для почтеннейшей публики, и господин Вукул Ефимыч тогда же удостоили нас своим вниманием и приказали приехать на Любезный.

Гусь подозрительно оглядывал с ног до головы бритого человека и отрицательно качал головой, что в переводе означало, что не может этого быть.

По воровской привычке Ермошка не подошел к крыльцу прямо, а предварительно обошел кругом экипаж и заглянул под парусину. Повозка оказалась нагруженной доверху какими-то ширмами, крашеными палками и подозрительными узлами. Поторговавшись для важности с бритым человеком, Гусь ушел в господский дом и на всякий случай запер за собою дверь на крючок. Бритый человек подошел к повозке и ласково сказал бледной женщине:

— Все отлично... Вукул Ефимыч дома. А холуй еще ломается...

Появившийся на крыльце Гусь поманил бритого человека, и они скрылись в подъезде.

— Тетенька, вы кто такие будете? — осведомился Ермошка, заглядывая под парусину.

— Мы комедию будем представлять...

— Какую комедь?

— А вот увидишь...

— Где?

— Здесь. Палатку поставим и будем представлять... Если хочешь посмотреть, так припасай гривенник.

У Ермошки захватило дыхание от этого известия, и он сразу сообразил все. Шорник Осип видел, как комедию ломают... Вот так штука!.. Гусь и бритый человек вышли снова на подъезд уже совсем приятелями: Вукул Ефимыч приказали всячески способствовать приехавшим комедыцикам.

Комедыцики приехали... комедыцики!.. — кричал Ермошка, бросившись сначала к корпусу служащих, а потом обратно к своей казарме. — Комедыцики!

II

Центр Любезного прииска составляла его приисковая контора с господским домом, корпусом для служащих, амбарами, конюшнями и разными другими приисковыми постройка-

ми. Маленькая, неправильной формы площадка разделяла их, точно заплата, пришитая неумелой рукой. Вот на этой площадке бритый человек и принялся за дело. Прежде всего он воткнул в землю большой шест с красным флагом и пестрой афишей, гласившей, что мосье Пертубачио имеет честь известить почтеннейшую публику о своем благополучном прибытии. Далее следовали некоторые подробности: мосье Пертубачио, изучивший черную и белую магию, покажет чудесные явления из мира таинственного, будет глотать горящий огонь и шпаги, представит опыт индийского чревовещателя, олимпийские игры, всевозможные фокусы и в заключение всего знаменитую воздушную фею мисс Санта-Анну, или «бюст женщины, одобренный многими высокими особами». Гусь был прикомандирован на помощь мосье Пертубачио и с обиженным видом смотрел, как тот быстро устраивал свою походную палатку из заплатанной парусины. Около этого походного сооружения собралась целая толпа и впереди всех, конечно, пожираемый любопытством Ермошка...

— Вот так немец!.. — слышались одобрительные возгласы. — Ловко приспособился...

— Ви не мешайт мой... — бормотал мосье Пертубачио искусственно-ломаным языком, отодвигая напиравшую толпу. — Мой будет давать морда... Доннерветтер!.. Мальчишка, долой, каналья!

Особое внимание мосье Пертубачио обратила на себя стоявшая недалеко от палатки сухая береза. Он несколько раз подходил к ней, пробовал ее и качал недоверчиво головой, — береза была гнилая и не выдерживала напора его рук.

— Проклятая шволочь!.. — бормотал мосье Пертубачио, оставляя в покое гнилую березу.

Все эти таинственные приготовления совершались чуть не целый день. Когда палатка наконец была готова, мосье Пертубачио торжественно вывесил по обеим сторонам входной двери две картины, — на одной изображен был он сам, глотающий огонь, а на другой мисс Санта-Анна, или бюст женщины. Возбужденному приисковому любопытству не было меры и границ. Невозмутимый Гусь был приставлен охранять палатку от

нескромного любопытства приисковой публики.

Представление было назначено в шесть часов вечера, когда хозяин прииска Вукул Ефимыч Злобин соснет после обеда. Это была целая вечность для нетерпения Ермошки. Он позабыл о своем обеде и не отходил от палатки ни на шаг. Вдруг он уйдет, и представление начнется без него... Мосье Пертубачио закусил что-то с своей воздушной феей и тоже прилег отдохнуть.

Ермошка ужасно беспокоился и в каждом новом человеке видел своего кровного врага, который займет именно его место. Палатка была невелика, негде кошки за хвост повернуть, а народ все прибывал.

— Тише вы, галманы, — как-то шипел на всех Гусь. — Вукул Ефимыч изволят почивать... Право, вариачье!..

Так как всему на свете бывает конец, то и Вукул Ефимыч изволил наконец проснуться. Гусь был отозван в господский дом и получил строгий наказ стоять все время представления у палатки и наблюдать, чтобы «не было худых слов». Вукул Ефимыч шел на представ-

ление с собственной супругой, потом будут жены служащих и наконец девицы, а народ праздничным делом пьяный.

— Ты у меня смотри, каналья! — предупредил Вукул Ефимыч и многозначительно погрозил верному Гусю своим опухшим от жира пальцем. — Понимаешь, будут барышни.

— Могу соответствовать вполне, Вукул Ефимыч...

Представление началось с того, что мосье Пертубачио вышел из своей палатки с медной трубой и затрубил, а потом ударил в барабан. У Ермошки дух захватило от волнения: начиналось что-то необыкновенное. Когда замерла последняя трель барабана, в палатке захрипела походная разбитая шарманка, над которой трудилась мисс Санта-Анпа. Мосье Пертубачио выставил у входа небольшой деревянный столик, раскрыл деревянную шкатулку и принялся продавать билеты.

— Каспада, пожалюйт... — повторял он, раскланиваясь с почтенной публикой. — Сегодня на деньги, завтра в долг...

Первым покупателем явился Ермошка. Мосье Пертубачио внимательно осмотрел по-

данный пятиалтынный, попробовал его на зуб и, подозвав Гуся, проговорил:

— Фальшивая монета.

— Ах, ты, варначонок!..

Космы Ермошки очутились в могучей длани Гуся, и его маленькое грешное тело покатилось к ногам мирно дремавшей сивой кобылы... Гусь давно уже заметил вертевшегося у палатки Ермошку и инстинктивно почуял в нем своего врага. Ермошка, нужно сознаться, был порядочно обескуражен таким неблагоприятным началом, хотя и знал, что его «монет» фальшивый. Неужели он так-таки ничего не увидит?.. Нет, это было ужасно... Целый день ждать и ничего не увидеть?.. Ермошка сильно задумался и готов был разреветься с горя. Но шарманка играла, барабан опять бил, и время даром терять не приходилось. В палатку прошли уже двое служащих с женами, потом барышни и наконец сам Вукул Ефимыч с собственной супругой. Это было сигналом для остальной публики, бросившейся покупать билеты нарасхват.

Ермошка совсем упал духом, когда представление началось, а он, Ермошка, остался

за палаткой. Мальчик просто сгорал от любопытства и готов был расплакаться. Машинально он несколько раз обошел палатку, стараясь не попадаться на глаза Гусю. А в палатке, видимо, творились чудеса, и публика хохотала неистово. Случайно Ермошка обратил свое внимание на большую заплату в задней стене палатки. Отодрать ее и проделать небольшое отверстие для него было делом нескольких секунд, и вот все чудеса перед ним. Ермошка видел теперь всю публику: впереди всех сидел Вукул Ефимыч с супругой, за ним сидели служащие со своими семьями, а назади стояла на ногах остальная черная публика. Сцену заменял подержанный тюменский ковер, на котором мосье Пертубачио показывал свои фокусы; глотал зажженную паклю, играл на кофейнике и в заключение взял золотые часы Вукула Ефимыча и истолок их вдребезги в медной ступке. Мисс Санта-Анна подавала ему необходимые вещи и несколько раз заслоняла своей широкой спиной поле зрения Ермошки. Когда мосье Пертубачио подал Вакулу Ефимычу совсем целые часы, Ермошка расхохотался до слез и должен

был на время оставить свой наблюдательный пост. Но это проявление искренней детской радости чуть его не погубило: когда Ермошка опять заглянул в свою дыру, воздушная фея Санта-Анна ткнула в нее чем-то так, что он едва успел отскочить.

— У, дьявол! — ругался Ермошка, отскочив. — Прямо в глаз метила, окаянная душа...

У Ермошки явилась счастливая мысль достать палку и ткнуть ее прямо в спину проклятой мисс Санта-Анны. Половина этого плана была приведена в исполнение, но когда Ермошка подошел к своей дыре, то знакомая уж ему длань Гуся ухватила его за волосы и распростерла ниц. Визг Ермошки совершенно потерялся в шумных проявлениях восторга благородных зрителей.

— Ты у меня, сибирская язва, смотри! — грозно шипел Гусь, отгоняя Ермошку от палатки пинками.

Что было делать? Теперь уж нельзя было к палатке подойти, потому что проклятый Гусь сторожил его. Скрепив сердце Ермошка вмешался в толпу и очутился под березой. Взлезть на нее было опять делом нескольких

минут. Публика, толкавшаяся у палатки, одобрила предприятие Ермошки, так что даже преследовавший его Гусь теперь был бессилен и только издали погрозил вороватому врагу кулаком. Ермошка торжествовал. Ермошка был выше всех и видел решительно все, а представление у него шло на глазах: было видно решительно все, даже то, чего не видела заплатившая деньги публика. Мосье Пертубачио глотал шпаги, показывал опыты чревовещания, опять глотал зажженную паклю и наконец заявил, что покажет «бюст женщины». Предварительно он загородился от публики красной ширмочкой, потом поставил за ширмочкой тот самый столик, на котором давеча продавал билеты, посадил на него свою воздушную фею, вытащил откуда-то несколько зеркал — Ермошка все это видел и замер от восторга. Когда волшебная ширмочка раскрылась, мисс Санта-Анна видна была только по пояс, и любопытные могли с ней разговаривать и даже ощупать ее, как предлагал мосье Пертубачио, чтобы убедиться, что это не кукла, а живой человек. Ермошка до того вытягивался, стараясь разглядеть, куда

спрятаны ноги мисс Санта-Анны, что гнилая береза не выдержала и рухнула вместе с ним прямо на. палатку...

III

Можно себе представить смятение почтеннейшей публики, произведенное падением Ермошки. Когда березу убрали и публика немного пришла в себя, первым делом, естественно, явился вопрос о Ермошке, но приисковый мальчик точно сквозь землю провалился. Мисс Санта-Анна припоминала, как во сне, что старалась схватить этого разбойника за волосы, но он ловко бросился к ней под ноги, уронил ее и исчез. Вукул Ефимыч потребовал ответа от Гуся, как лица, облеченного специальной доверенностью, но Гусь только размахивал руками и ругался.

— Ну, я с тобой рассчитаюсь после! — грозился Вукул Ефимыч, показывая Гусю кулак. — Пошел вон, дурак!..

После этого невольного антракта представление продолжалось. Гусь по-прежнему стоял у входа, вытянувшись в струнку, и его душа кипела негодованием. Только бы увидать ему этого подлеца Ермошку, и он показал бы

ему...

А Ермошка был тут, всего в двух шагах. Он укрылся под «парадным» крыльцом господского дома. Здесь он прежде всего привел в порядок свой праздничный костюм, вытер нос и принялся наблюдать, что делает проклятый Гусь. Стоило выглянуть Ермошке из своей засады, как Гусь сейчас же накрыл бы его. Необходимо было ждать... Ермошке сделалось грустно. Другие веселятся, мисс Санта-Анна вертит свою шарманку, мосье Пертубачио выкидывает все новые колена, а он, Ермошка, должен сидеть для праздника под крыльцом.

Да, музыка гудела, на площадке галдел по-праздничному приисковый люд, а Ермошка выглядывал из своей дыры, как мышонок. Ближе всего к нему стояла повозка мосье Пертубачио с привязанной к ней сивой лошадью.

Летний день быстро догорал. Солнце багровым шаром спустилось за разорванную линию обступившего со всех сторон прииск Любезный леса. Быстро надвигались короткие летние сумерки. Ближайшее болото точно задымилось белым туманом. Мосье Пертубачио

в третий раз протрубил в свою трубу и с изящным поклоном объявил публике, что сейчас начнется последнее действие его представления, именно живая картина, или полет воздушной- феи мисс Санта-Анны. Раскланявшись грациозно, мосье Пертубачио удалился из палатки: ему нужно было переодеться. Он отыскал свой экипаж и быстро принялся за дело. Прежде всего мосье Пертубачио, конечно, снял свой пиджак и жилет, а затем остальные принадлежности своего костюма. Свернув все это одеяние, он сунул его под беседку экипажа, а на себя натянул заштопанное и довольно грязное трико. Вся эта операция хотя и совершалась в темноте, но-от волчьего глаза Ермошки не ускользнуло ничего, до мишуры и блесток костюма комедыциков включительно. Вслед за мосье Пертубачио переоделась и мисс Санта-Анна, являвшаяся теперь главным действующим лицом. Она была в короткой кисейной юбочке, в трико телесного цвета и с восхитительно-голыми руками. Мосье Пертубачио подхватил ее за руку, и они легкими прыжками вернулись в палатку.

Пользуясь темнотой, Ермошка вылез из

своей засады, огляделся и подошел к экипажу. Сивая лошадь проснулась и посмотрела на него усталыми добрыми глазами. Прежде всего Ермошка запустил руку под беседку, извлек оттуда только что снятый костюм мосье Пертубачио и сделал быстрый обыск. Его внимание заняли главным образом штаны комедыцика, то есть карманы оных. Нащупав портмоне, Ермошка извлек его, сунул за пазуху, а потом привел все вещи в порядок и сейчас же исчез в темноте, как известно, специально благоприятствующей влюбленным и ворам.

Последнее действие произвело необыкновенный эффект, так что бедная мисс Санта-Анна даже раскраснелась от быстрых движений и общего внимания. Она грациозно раскланивалась, прижимала обе руки к сердцу и посылала воздушные поцелуи. Мосье Пертубачио тоже кланялся, счастливый тем, что мог заработать целых семь рублей двадцать копеек. Улыбающаяся и счастливая чета грациозными прыжками вернулась к своему экипажу, чтобы переодеться. Можно себе представить изумление и ужас мосье Перту-

бачио, когда он, облекшись в свою походную пару, не нашел портмоне. В Первую минуту несчастный онемел... А мисс Санта-Анна, возбужденная успехом, сладко улыбалась. Как ему тяжело было огорчить свою верную подругу...

Первым движением мосье Пертубачио было броситься за помощью к Гусю, который отдыхал после тяжелого дня на своем крылечке. Мосье Пертубачио объяснял ему свою историю шепотом и все сбивался, так что Гусь заподозрил его сначала во лжи и глубокомысленно молчал.

— Ведь семь целковых! — повторял мосье Пертубачио, опускаясь в изнеможении на лесенку. — Нюта радуется, а я не могу ничего выговорить.

Гусь только что хотел сказать несколько теплых слов по адресу шляющихся комедыциков, которые только беспокоят добрых людей, как вдруг мосье Пертубачио, тот самый Пертубачио, который сгибал в пальцах двугривенные, схватил руками собственную голову таким движением, точно хотел ее оторвать, как совсем ненужную вещь, и... запла-

кал. Это безмолвное проявление искреннего горя, с одной стороны, тронуло Гуся, а с другой, для него сделалось ясным решительно все.

— Ах, он, варнак!.. а? Ах, подлец! — шипел Гусь, поднимаясь. — Некому другому этого сделать, как ему...

— Кому?

— То-то я смотрю: все вертелся на глазах, как бес, а тут сразу сгинул... Его дело!..

— Чье?

— Ну, варнак этот, который с березы на публику сверзился. Ах, ирод!..

— Я его не видал...

— И я тоже... Понимаешь ты, мосье: некому больше!.. Все вертелся на глазах, а тут пропал... Он!.. С живого кожу сдеру...

Гусь поднялся с решительностью убежденного человека, сделал знак мосье Пертубачио и повел его за собой. Скоро они скрылись в темноте. Комедыцик покорно следовал за своим мрачным путеводителем, шагая через какие-то ямы, запинаясь за камни, точно пьяный.

— Ведь семь рублей... — повторял он упав-

шим голосом. — А она так беззаботно улыбается... И руками тянется ко мне... Если она узнает, это ее убьет. Понимаете? Она нервная... А я-то как отлично сегодня работал: сейчас еще каждая косточка ноет.

Небо покрылось неизвестно откуда наползшими облаками, точно войлоком. Нигде не светилось ни одной звездочки. Летний жаркий день быстро сменился прохладой надвигавшейся грозы, которой уже пахло в воздухе. Гусь несколько раз смотрел на небо, прислушивался к чему-то и наконец проговорил:

— Быть грозе... На то тебе Ильин день. Уж это завсегда так... Нонче Илья-то маненько запоздал.

Точно в ответ на эти слова вверху ярким изломом бросилась молния, и после короткой паузы тяжелым раскатом ударил гром.

— Господи, прости нас, грешных! — крестился Гусь.

IV

В казарме едва светился замиравший огонек, — это играли в три листа неугомонные приисковые забулдыги, ставя на карту по-

следние гроши. Остальные давно спали на нарах, раскинувшись в самых непринужденных позах. На печке спал старый шорник Осип, а за печкой на лавочке прикорнула подгулявшая приисковая стряпка Леканида. Намаялась она за день, а потом бабьим делом выпила. В заключение гулянья ее больно поколотили и пообещали совсем порешить, если бы она не убежала в темноте. Каждый праздник нещадно колотили Леканиду, и каждый праздник она горько каялась в своих грехах и давала зарок, что это уж последний раз и что больше она не посмотрит глазом ни на одного проклятого мужика.

— Эй, вы, челдоны! — крикнул Гусь, входя в казарму. — Где тут у вас парнишка?

Игроки даже не удостоили ответом грозное начальство, продолжая свое дело.

— Вам говорят, омморошные! — еще грознее крикнул Гусь.

Никто не шевельнулся и не повернул головы. Гусь величественно стоял у двери, а за ним мосье Пертубачио, подавленный своим горем.

— Какого тебе парнишку? — откликнулась

из запечья Леканида.

— А этого самого... Ермошкой звать.

— Тут где-нибудь спит, — сонно ответила Леканида, зажигая сальную свечу. — Ужо вот я посвечу.

Розыски начали при колебавшемся свете сальной свечи. Леканида обошла все нары — Ермошки нигде не было. Было осмотрено помещение под нарами — тоже.

— Куда бы ему деться? — удивлялась Леканида, стараясь не смотреть на беспомощно распростертые мужицкие тела. — Да вам-то на что его?

— Уж это наше дело, — строго ответил Гусь. — Ну-ка, краля, посвети на печь.

— Осип там спит, шорник... Неможется ему, — объяснила Леканида, шагая к печи. — К ужину только прибег Ермошка-то, наголодался за день, как пес, а потом свернулся — только его и видела.

На печке действительно спал шорник Осип, а за ним сам Ермошка. Гусь схватил его за голую ногу и, сонного, поволок прямо на пол.

— Тебя-то и надо, молодца! — грозно крик-

нул Гусь, встряхивая заспанного Ермошку.

Ермошка ничего не понимал и только смотрел кругом заспанными глазами. Гусь ощупал его, слазил на печку, пошарил там — ничего.

— А где у него сундук? — спрашивал Гусь, огорченный этой неудачей.

— Никакого и сундука нет, — отвечала Леканида, сообразившая, в чем дело. — Весь тут: рубаха на ем да штаны... Никакого сундука нет.

Гусь схватил Ермошку за руку и поволок из казармы. Мальчик упирался изо всех детских сил, пробовал укусить руку Гуся, но все напрасно.

Ермошка очутился за пределами казармы и понял, что все кончено. Гусь куда-то тащил его за руку, а мосье Пертубачио подталкивал сзади коленом. «Убьют меня в лесу», — мелькнуло в голове у Ермошки, и он попробовал закричать благим матом. Но и эта последняя попытка не помогла, потому что Гусь закрыл Ермошкин рот своей широкой ладонью. Они молча отвели пленника от казармы и остановились.

— Сказывай, куда дел деньги? — рявкнул Гусь, подняв Ермошку за волосы.

— Дяденька, вот те Христос, не брал!.. знать не знаю!.. — вопил Ермошка, отчаянно болтая ногами.

— А вот узнаешь! Мосье, держи его за ноги.

Ермошка был повергнут на землю, и Гусь с ожесточением принялся его лупить сломанной по пути розгой. Отчаянный вопль огласил лес и жалко замер.

— Не знаешь? — спрашивал Гусь, делая небольшую передышку.

— Ничего не знаю... вот сейчас провалиться...

— Мосье, теперь ты катай его, а я подержу за ноги, — решил Гусь.

Экзекуция началась с новой энергией, и новый вопль Ермошки опять замер в окружавшей темноте. Ермошку били так часто и много, что он перенес бы это истязание, но его испугала ночь, окружавшая темнота и его полная беззащитность. Что стоило рассвирепевшим мужикам убить его, а потом бездыханное Ермошкино тело бросить куда-нибудь в шурф! Эта мысль заставила Ермошку сде-

лать признание.

— Давно бы так, — другим тоном проговорил Гусь. — Куды деньги-то запрятал, пес?

Ермошка соображал: ему нужно было выиграть время и место. Разгорячившись, мужики запороли бы его насмерть, да и место самое глухое.

— Под крыльцом в землю закопал... — признался Ермошка, лежа на земле. — У господского дома под крыльцом.

— Ну, смотри, ежели надуешь, так я тебя в порошок изотру, — пообещал Гусь. — Под крыльцом, говоришь?

— В уголке закопал.

По дороге к господскому дому Гусь наломал розог и очистил их от листьев.

— Отдай мои семь рублей, — говорил мосье Пертубачио, подталкивая Ермошку ногой. — Я тебе пряников куплю...

В господском доме окна были еще ярко освещены, когда Ермошка очутился на месте преступления.

— Ну? — коротко буркнул Гусь, когда они подошли к крыльцу.

Ермошка осмотрелся и полез под крыльцо.

Гусь тоже растянулся на земле, хотя и не мог залезть в узкую дыру. Несколько времени Ермошка копал землю, а потом заявил шепотом;

— Дяденька, кто-то утащил портмонет-то!..

— Что-о! Ах ты, подлец... да я...

Гусь никак не мог залезть под крыльцо и только болтал ногами, а Ермошка, воспользовавшись удобством своей неприступной позиции, заревел таким благим матом, что сбежались не только все из господского дома, но и из корпуса служащих. Гусь был сконфужен... Вукул Ефимыч сам принялся за разбор дела и, когда узнал все подробности, залился неудержимым хохотом: уж очень ловко все было оборудовано.

— В штанах, говоришь, портмоне был? — спрашивал он растерявшегося мосье Пертубачио. — Пришел, надел, а портмоне-то и нет... Ха-ха-ха!.. Дудил в трубу, представлял, а денег и нет? Ох, уморил... Ну и ловок Ермошка!.. Как вы его, черти, насмерть не забили в лесу-то!

Развеселившийся Вукул Ефимыч заплатил мосье Пертубачио красненькую «за хлопоты»,

а Ермошку велел отпустить с миром. Когда Гусь рассказывал о подвигах Ермошки, весь господский дом покатывался со смеху. Вукул Ефимыч был доволен и велел покормить комедыников ужином.

Когда на другой день мисс Санта-Анна проснулась, первое, что ей бросилось в глаза, была сивая лошадь, — она понуро и сконфуженно посмотрела на нее своими добрыми глазами. Великолепный сивый хвост был отрезан начисто... Кто это сделал — всем было ясно, как день.

Крестник

(Этюд)

I

— Васька объявился, Александр Иваныч...

— Ах, мерзавец!..

— Опять с каторги выворотился... Наши заводские его видели на тракту. Идет это с котомочкой и кланяется, а потом остановился и говорит: «Скажите, — говорит, — поклонник крестному!». То-то охальник он, Васька-то...

— Мошенник... Так и говорит: крестному?

— Так и сказал.

— Чего же его не задержали, подлеца? — возмутился Александр Иваныч, разглаживая свою окладистую рыжую бороду.

— Да уж так, Александр Иваныч... Кабы наши заводские, так беспременно пымали бы, а то деревенские. «Кто его знает, — говорят, — что у Васьки на уме... Не прост человек, коли из бессрочной каторги выворотился».

— Дураки!

— Известно, деревня, Александр Иваныч... Потом бабы видели Ваську на покосе. Наши заводские бабы-то сразу опознали Ваську... Он еще хлебца у них попросил, потому как, значит, в бегах больно отощал. Известно, каторжник: где день, где ночь — все одно лесной зверь. А бабы, известно бабы, как все одно овечки в лесу: все отдам, только не тронь. Жив смерти боится, Александр Иваныч.

Этот доклад происходил рано утром, когда становой Александр Иваныч, в халате и с трубкой в руках, пил чай. Высокий, костлявый, с выпученными глазами неопределенного цвета, Александр Иваныч пользовался большой популярностью в своем участке, как

человек исполнительный и энергичный. Любимой его поговоркой было: у волка в зубе Егорий дал. Именно на такого волка и он сам походил, особенно с головы, костлявой и широколобой, с большим, точно вечно нюхающим носом и гладко остриженными щетинистыми волосами. Докладывал о Ваське заводский объездной лесник, коренастый и кривоногий мужик, по фамилии Хрусталев. Он был в своей форме — в сером полукафтанье, перехваченном красным кушаком, и с медной бляхой. Небольшая русоволосая головка с быстро мигающими глазками была крепко посажена на широкие плечи, а несоразмерно длинные руки придавали такой вид, точно они были взяты от другого человека.

— Ну, так что тебе нужно? — хрипло спросил Александр Иваныч, насасывая свою трубку.

— А значит, объявить пришел, Александр Иваныч, потому как дело совсем особенное. Значит, на всякий случай...

— Да ведь у тебя свое начальство есть, ему и объявляй. Умнее меня хотят быть, ну, пусть и ловят Ваську... Ваши-то заводские очень уж

расфорсились, да и следователь новый тоже. Я да мы — ну и пусть делаются, как знают.

— Моей причины никакой тут нет, Александр Иваныч, а только я насчет Васьки... значит, известный у вас порядок...

— Дурак ты, Хрусталев! — обругался Александр Иваныч и даже замахнулся на лесника чубуком. — Иди и скажи своему заводскому начальству, что они все дураки...

По обыкновению Александр Иваныч покричал, потопал ногами и выгнал лесника вон. Хрусталев выскочил на улицу без шапки и долго встряхивал своей маленькой головкой, точно его окатили холодной водой.

— Что, получил два неполных? — смеялся кучер Александра Иваныча, сидевший за воротами. — Тоже к Александру Иванычу с молитвой надо подходить... Как еще на кого взглянет.

Эта маленькая бытовая сцена имела свои причины в тех недоразумениях, которые возникли у Александра Иваныча с Энским заводоуправлением. Пятнадцать лет Александр Иваныч «становил» в Энском заводе, был на счету у начальства и не раз получал за свою

энергию отличную благодарность. Сам губернатор знал Александра Иваныча, называл его попросту Александром Иванычем и ставил в пример всем другим уральским становым. Конечно, были свои грешки и у Александра Иваныча (у волка в зубе Егорий дал), но начальство смотрело на них сквозь пальцы. На Энском заводе было, конечно, свое заводское начальство, и очень большое начальство, которое с испокон веку ладило со становыми, а с Александром Иванычем в особенности. Но враг человеческий силен, и черная кошка пробежала между сторонами.

Дело происходило на именинах управителя Зыкова. Александр Иваныч находился в прекрасном настроении духа и, в качестве почетного гостя, винтил с самим именинником и молодым судебным следователем Голубчиковым. Это был еще совсем молодой человек, но держал себя с большим гонором и, как показалось Александру Иванычу, отнесся к нему свысока. Может, это просто показалось Александру Иванычу, но, тем не менее, он затаил злобу. В довершение всего Александру Иванычу пришлось быть партнером Голубчи-

кова, и, по привычке, выходя с валета бубен, он сказал:

— А ну-ка мы не помнящего родства бродягу выпустим...

«Непомнящий родства» был бит, и Голубчиков ядовито заметил:

— Эх, Александр Иваныч, не вам, видно, с бродягами дело иметь.

— Как не мне?.. Позвольте, молодой человек...

Произошел довольно крупный разговор. Хозяин вмешался и, стараясь примирить гостей, окончательно испортил все дело. Александр Иваныч досидел до конца вечера, простился с хозяином довольно холодно и увез с собой нараставшее злобное чувство: его променяли на мальчишку, на молокососа — его, Александра Иваныча. Зыков, в свою очередь, тоже обиделся: ты-то уж, кажется, был ни при чем, а тут еще услужливые люди передали Александру Иванычу, как похвалялся молодой следователь, что он и без Александра Иваныча обойдется, а ловить бродяг совсем не хитрая штука. Появление Васьки восстановило эту домашнюю историю, и по уходе Хру-

сталева Александр Иваныч даже потирал руки от удовольствия.

— Будем посмотреть, как Зыков с Голубчиковым будут ловить Ваську! — повторял он, пыхтя дымом. — Будем посмотреть.

II

Сам по себе Васька является типичным роковым человеком. Он был мастеровой Энского завода и промышлял «по лесоворной части». Такая специальность объяснялась очень просто: громадная заводская площадь принадлежала заводовладельцу всецело, а у населения никакой земли не полагалось, как не полагалось и лесу, а без лесу жить невозможно, как известно всем и каждому. В Энском заводе каждое бревно и каждое полено дров являлось, таким образом, продуктом «лесоворной части». Другого леса, кроме краденого, не существовало. Васька промышлял этим воровством и кое-как существовал. Зимой он вывозил бревна на себе — положит бревно на свои салазки и везет. Когда его ловили с поличным и предъявляли мировому судье, Васька удивлялся и очень резонно говорил:

— Кто его садил, лес-то? Божий он... А что

касаемо того, что я вырублю лесину, выволоку ее на своем хребте да продам за восемь гривен, так это какое же воровство: поденщина не окупается. Все мы хлеб едим, ваше высокоблагородие... Кабы другая подходящая работа попала, да я бы с моим удовольствием, а то вровень с двужильной лошадью маюсь, и я же вор.

Эти рассуждения ни к чему не вели, и Васька прошел через целую лестницу повышавшегося возмездия. Сначала его присуждал мировой судья к штрафам, потом на высидку, а в конце концов Васька достукался до окружного суда. В результате получилось заключение в острог, но и оно не исправило Ваську. По выходе из острога Васька опять попался в лесоворстве и по новому, строгому закону был лишен «некоторых прав и преимуществ» и сослан «в не столь отдаленные места». Но это не образумило Ваську: он бежал с места ссылки и пришел в Энский завод, как бродяга. Тут его и накрыл Александр Иваныч в первый раз.

— Ну, теперь будешь моим крестником, Васька... — посмеялся тогда Александр Ива-

ныч и погрозил пальцем.

За этот побег Ваську лишили уже всех прав и сослали дальше, но он через год опять вернулся в свой родной Энский завод. Александр Иваныч опять его накрыл, и Ваську «обсудили каторгой» на три года. Через три года Васька снова «выворотился» домой, снова был пойман и, как беглокаторжный, присужден был к плетям, а каторга увеличена на десять лет.

— Дурак ты, Васька! — ругался Александр Иваныч, — Не стало тебе места в Сибири, али ушел бы в Расею и сказался непомнящим родства. Всего-то бы тебе по суду вышло поселение, а ты прешь непременно домой. Право, дурак... Еще раз придешь — опять поймаю.

— Александр Иваныч, не могу я без своего места... — отвечал Васька откровенно. — Душеньку всю истомило. А за что муку-то мученическую принимаю? Из-за лесников... Ей-богу, правда! В первый-то раз у меня двоегривенного не хватило дать лесникам, чтобы не подводили под протокол. Вот вся моя причина... А ты посчитай, сколько у меня поденщин пропало по острогам да этапам. Тоже и наши

напрасные слезы дойдут...

— Куда дойдут-то, дурья твоя голова?

— Ничего я не сделал, Александр Иваныч... — повторял Васька упорно.

— Вот и толкуй с тобой, с дураком! — ругался, в свою очередь, Александр Иваныч. — Думаешь, им сладко ловить тебя, дурака? Важное кушанье... Рук-то не стоит марать об тебя, а только моя такая собачья должность, что я с вами, воришками, должен валандаться...

Никаких художеств за Васькой не было, кроме упорного бегства домой, как раньше он упорно воровал заводский лес. Васька считал себя вправе рубить этот «божий лес», как теперь считал себя вправе выходить на родину. В последний раз он вышел из каторги года три тому назад и за этот побег был присужден в бессрочную каторгу и к полуторастам плетей. Даже Александр Иваныч, видавший на своем веку всякие виды и переловивший сотни непомнящих родства и каторжников, подивился непобедимому упрямству своего крестника Васьки, — он называл крестниками всех пойманных бродяг.

Итак, Васька объявился, и заводской администрацией, совместно со следователем, приняты были энергичные меры. Александр Иваныч занял выжидательное положение. Не будь этих обострившихся отношений, Васька, вероятно, еще долго гулял бы на свободе, но мы уже сказали выше, что вся его жизнь складывалась роковым образом. Заводоуправление хотело показать, что оно обойдется и без Александра Иваныча, а поэтому подняло на ноги всю лесную стражу и согнало народ из волости. Ваську видели в окрестностях Энского завода, а потому везде по дорогам и были поставлены стражники, а лесники объезжали свои участки верхом. В числе последних находился и Хрусталев, вооруженный револьвером. Время стояло летнее, и поиски велись по всем направлениям. Раз Хрусталев выехал из завода ранним утром. В ближайшем леске он наткнулся на свежую сакму: по росе было видно, что прошел человек. Хрусталев направился по следу и скоро увидел между деревьями дымок. Он приостановился и стал разглядывать между деревьями. Действительно, курился огонек, а около

огонька лежал человек.

«Должно быть, Васька... — подумал Хрусталев. — Управитель обещал четвертной билет, кто поймает».

Лежавший у огонька человек, в свою очередь, заметил Хрусталева, но не двинулся с места. Хрусталев подъехал ближе: как будто Васька, как будто и не Васька — сразу не разберешь.

— Эй, как тебя звать, не видал ли верхового? — спрашивал Хрусталев, стараясь выиграть время и расстояние.

— Что, лесная собака, не узнал? — отозвался Васька, поднимаясь. — Двадцать пять рублей охота получить?

— Стой, варнак!..

Васька побежал. Хрусталев погнался за ним. Некоторое время Васька лавировал между деревьями, но подвернулась поляна, и Хрусталев нагнал его вплоть.

— Стой: стрелять буду!..

— Стреляй...

Васька грудью пошел на своего преследователя, который выхватил револьвер. Но не успел Хрусталев взвести курка, как Васька од-

ним прыжком кинулся к нему и всадил нож в живот. С криком рухнул с седла Хрусталев, а Васька вскочил на его лошадь и был таков.

Убитого лесника нашли только через три дня, и все были уверены, что это Васькина работа, хотя раньше он и не был замечен в каких-нибудь «качествах».

III

Александр Иваныч торжествовал. Васька не только ушел цел и невредим, а еще зарезал Хрусталева. На время Васька исчез бесследно, хотя все были уверены, что он где-нибудь близко, и о нем ходили самые разноречивые слухи. Следователь сбился с ног, разыскивая такого крупного преступника, но все было безуспешно.

Так прошло все лето и осень. Наступила зима. Раз, встретившись с следователем где-то на именинах, Александр Иваныч спросил:

— А когда-то вы Ваську поймаете?

— Да он ушел давно... Отчего вы его не ловили сами?

— Если захочу — и поймаю... Сегодня же поймаю. По рукам?

Гости подхватили Александра Иваныча на

слове. Дело было близко к полуночи, и он сейчас же отправился в экспедицию, захватив с собой и следователя.

— Куда Ваське деваться, должен быть здесь, — уверял Александр Иваныч авторитетно. — Сказал: поймаю — и поймаю...

Ночь была темная и ветреная. Порошил сухой снежок. Становой с следователем и двумя стражниками выехали на окраину завода, где уже начинались плохие избенки. Около одной из таких избенок они остановились с необходимыми предосторожностями. Стражники остались на улице, а Александр Иваныч постучал в оконце. В избе долго никто не откликался, а потом тихо скрипнула дверь.

— Кто крещеный? — спрашивал старческий голос.

— Принимай гостей, Устиновна, — поздоровался Александр Иваныч, чиркая в сенях спичкой.

— Ох, Александр Иваныч, родимый ты мой... — запричитала старуха, — По душу по мою приехал?

Эта была мать Васьки, проживавшая в своей избушке бобылкой. Она и плакала, и тряс-

лась, и ничего не умела объяснить. Совсем из ума выжила старуха. Александр Иваныч сделал осмотр избы во мгновение ока и даже спустился в «голбец», то есть в подполье. Васьки нигде не было. Александр Иваныч вышел в темные сени, опять чиркнул спичкой и сделал следователю знак остановиться у деревянной лесенки, которая из сеней вела под крышу, а сам начал осторожно подниматься наверх. Следователю видны были только одни ноги Александра Иваныча, а потом все стихло. Это была зловещая тишина, продолжавшаяся несколько секунд, пока Александр Иваныч добывал свои спички. Когда вспыхнул огонек, мимо него вылетела какая-то неопределенная масса и скрылась в слуховом окне. За ней во мгновение ока вылетел и сам Александр Иваныч, всем телом рухнувший на копошившегося в снегу Ваську.

— А, попался, варнак... Эй, люди, сюда!..

Васька напрасно извивался в снегу змеем и все старался выпростать правую руку: Александр Иваныч насел на него настоящим медведем, схватив левой рукой правую руку Васьки, а правой — Васькино горло.

— Врешь, шельмец!.. Не узнал крестного?.. Вот как вашего брата Александр Иваныч корчит...

Подбежавшие стражники скрутили Ваську по рукам и ногам, а он все молчал, точно онемел. Очень уж все быстро случилось. Всю дорогу, пока Ваську везли в полицию, он упорно молчал и только в полиции, когда его стали обыскивать и нашли за голенищем нож, он криво улыбнулся и проговорил:

— Дешево я достался тебе, крестный... Вон и гостинец тебе был припасен.

— Врешь, подлец! — рявкнул Александр Иваныч, сшибая с ног Ваську ударом кулака. — Разве ты разбойник? Дрянь ты, вот что! Посмотри на себя, ну какой ты разбойник? А еще туда же, Хрусталева зарезал... Стыдно тебя и крестником назвать!..

Оставшийся в одной рубахе Васька действительно не имел никакого разбойничьего вида. Среднего роста, немного сутулый, с небольшой головой, он представлял собой заурядный тип заводского мастерового, которому не нож в руки, а гармонию. Круглое, едва тронутое жиденькой бородкой лицо Васьки

тоже ничего особенного не представляло, за исключением глубоко посаженных глаз и какого-то тупого взгляда. Он производил впечатление именно такого тупого малого, и самое подходящее место Ваське было бы где-нибудь в кучерах. Новичок-следователь с удивлением рассматривал знаменитого Ваську и только пожимал плечами.

— Неужели это тот самый? — спросил он Александра Иваныча, не выдержав. — Вы не ошибаетесь?

— Ха-ха!.. Слава богу, в шестой раз ловлю... Васька, подлец, ты ведь семью осиротил: после Хрусталева-то жена сам-пят осталась! Ну, с чего ты его зарезал?..

Васька неожиданно заморгал глазами, и слезы потекли по его загорелому лицу.

— Бог нас рассудит, Александр Иваныч... — шептал Васька. — Сам не помню, как все дело вышло... Только ведь я через этих самых лесников муку свою принимаю, а тут увидал Хрусталева, как он с левольвертом за мной гонится, — у меня свет из глаз...

Новый удар прямо в зубы не дал Ваське кончить. Александр Иваныч вдруг рассвире-

пел и бросился бить «крестника». Он таскал его за волосы, бил о пол, пинал ногами, пока следователь не оттащил его за руку.

Счастье, как известно, очень капризная вещь. Поимка Васьки вызвала еще большее раздражение заводской администрации против Александра Иваныча. Начались мелкие дрязги, стычки и доносы. Александру Иванычу вовремя нужно было бы покориться силе, а он еще больше поднял голову и пошел против течения. Завязалась горячая борьба, закончившаяся тем, что Александра Иваныча притянули «к Анне и Каиафе»[305], несмотря на заступничество губернатора. Следствие производил Голубчиков и постарался не ударить лицом в грязь: это было первое «хорошее» дело в его участке, да и зверь попался красный! Выплыли наружу такие дела, о которых Александр Иваныч давно уже забыл. «По совокупности» всех дел было до сотни.

Финал разыгрался в окружном суде только через год. Александр Иваныч был лишен всех прав состояния и приговорен к ссылке «в отдаленнейшие места». В «последнем слове» Александр Иваныч сказал:

— За что же меня одного судить, господа присяжные заседатели?.. Судить, так судить всех...

Из местного тюремного замка срочная арестантская партия выступала в солнечный весенний день. Ей приходилось сделать пешком верст семь, до ближайшей станции Уральской железной дороги. Аного тут было серых арестантских шапок и белых арестантских платков. За партией шел обоз с имуществом и целая толпа провожавших родственников. Лязг железных кандалов смешивался с воем и причитаниями женщин. По роковой случайности в эту партию попали вместе и Александр Иваныч и Васька. Первый делал вид, что не замечает своего «крестника», но Васька подошел к нему и добродушно заговорил:

— Александр Иваныч, ты пошто сердишься-то на меня?

— Ах, это ты, Васька... — смущенно пробормотал Александр Иваныч.

— В бессрочную опять иду, Александр Иваныч, — с арестантской хвастливостью ответил Васька. — А все из-за чего, ежели разо-

брать: двоегривенного не было лесникам дать, чтобы под протокол не подводили. Эх, жисть...

— А я из-за валета бубен, — сумрачно ответил Александр Иваныч.

«Крестный» и «крестник» шагали рядом, соединенные роковой судьбой. Замечательно было то, что Васька не только не питал ни малейшей злобы к своему «крестному», а еще жалел его: этакий человек, как Александр Иваныч, и вдруг «в отдаленнейшие места»...

Удивленный человек

(Очерк)

I

Каждый человек, который в первый раз попадает на скамью подсудимых, несколько времени, вероятно, бывает очень удивлен: в самом деле, разве для того он жил на белом свете, то есть хлопотал, бился, обманывал себя и других, чтобы попасть в это глупое положение? Но представьте себе удивление Максима Лукича, когда он очутился на скамье подсудимых... Собственно говоря, Максима

Лукича и не было совсем, а был уволенный по третьему пункту сибирский заседатель г. Переберина, которого судили «по-новому»[306]. Максиму Лукичу казалось, что судили совсем не его, Максима Лукича, а кого-то другого, именно уволенного по третьему пункту допотопного сибирского заседателя г. Переберина. В качестве постороннего наблюдателя, Максим Лукич удивлялся, между прочим, и тому, что судят всенародного человека за совершенные пустяки; наконец, больше всего он удивился тому, как скоро все это случилось, то есть следствие, предварительное заключение и, наконец, самый суд. Судился Максим Лукич «по совокупности», так что следователь выбился из сил, открывая все новые и новые преступления. Получалась длинная цепь из превышений власти, взяточничества, вымогательств и бесконечных рукоприкладств. Но и этого оказалось мало: на суде из свидетельских показаний выплывали новые факты, и, казалось, им не было конца. Для одного человека материала было слишком много, и старые сибирские суды проволочили бы это дело, по меньшей мере, лет пятнадцать,

пока Максим Лукич не догадался бы и умер, а тогда все производство кануло бы в вечность. Именно эта быстрота нового суда и возмущала Максима Лукича... Помилуйте, вчера человек был облечен властью, пользовался общим доверием и любовью, а сегодня он украшает собственной особой скамью подсудимых!

Набившаяся в залу суда публика тоже недоумевала и с участием следила за ходом дела. Сыромятные физиономии так и застыли в недоумении: что же это такое в самом-то деле? Помучили человека, и будет. Нужно и честь знать...

Публика глазела на расшитые мундиры новых судебных чинов, на скамью присяжных заседателей, на двух адвокатов, а больше всего на молоденького товарища прокурора, который несколько кокетничал. Что ему, этому молодому человеку, сделал Максим Лукич? Максим Лукич, в свою очередь, смотрел на публику, где мелькали все знакомые лица, и только пожимал плечами. Дескать, посмотрите, добрые люди, что со мной делают. А уж я ли, кажется, не старался для вас же!.. Наехавший новый суд был здесь совершенно чу-

жим и не понимал взаимного тяготения сторон. Когда при открытии заседания председатель обратился с обычным вопросом: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» — старик весь встрепенулся и что-то хотел сказать, но потом махнул рукой и ответил коротко: «Никак нет-с», — как отвечал еще во время службы в одном из казачьих полков на китайской границе. Публика облегченно вздохнула: так мог ответить только совершенно невинный человек... Да и наружность у Максима Лукича была самая импонирующая: высокий, седой старик, с остриженными под гребенку волосами, производил подкупающее впечатление. Большие, не по-старчески живые, темные глаза и военная выправка придавали ему бодрый вид. Его портила только отпущенная во время предварительного заключения борода — рыжевато-грязного цвета, с прямым волосом, как на половой щетке, точно она была сделана из проржавленной железной проволоки. Товарищ прокурора, выхоленный молодой человек с утонченно-изящными манерами, брезгливо отворачивался от старого сибирского волка, точно один его вид

мог замарать чистую прокурорскую душу. Особенно понравилась этому молодому человеку стереотипная фраза, какой встречал и провожал бывший заседатель своих бывших клиентов:

— Мы рассмотрим ваше дело, смотря по данным...

Это было типично и остроумно: все дела вершились, смотря по данным, то есть сообразно с количеством и качеством взяток. Максим Лукич действительно брал жареным и вареным; но, во-первых, кто же не берет, и, во-вторых, ему самому приходилось представлять свои собственные данные, когда налетала внезапная ревизия или выезжал на кормежку какой-нибудь голодный губернский чин. Шла круговая, а на скамью подсудимых попал один Максим Лукич. К своему адвокату он относился совершенно безразлично, как к новому человеку, который поражал его только своей юркостью и самодовольным видом. Что это он, адвокат, так суетится, когда дело совсем правое? С другой стороны, Максим Лукич подозревал, что его адвокат в заговоре с прокурором, — это заметно

по всему. Такой, с позволения сказать шалыган[307], и вдруг от него, некоторым образом, будет зависеть вся судьба Максима Лукича.

— Вы не робейте... — шептал адвокат, обращаясь к подсудимому. — Все будет зависеть от присяжных...

— Это значит от мужиков?

— Разве вы в первый раз на суде?

— Слава богу, раньше не случалось... Да и какой это суд?.. Товарищ прокурора — мальчишка, присяжные — мужланы...

Максим Лукич с какой-то грустью посмотрел на присяжных, в руках которых теперь его судьба: два чиновника, пять купцов, а остальные — все мужики. Все надежды он возлагал на этих двух чиновников, которые все-таки могут понять что-нибудь, ну, пожалуй, купцы наполовину поймут, а остальные... Нечего тут и говорить: отличный суд!.. Конечно, мужики его осудят, потому что он пять уездов держал в страхе и трепете и никому не спускал. Да, он не дискредитировал власти, как вот такие нынешние фитюльки...

— Послушайте, — обратился Максим Лукич к своему защитнику в средине прокурор-

ской речи, — что я сделал этому молодому человеку? Уж очень он привязался к «данным»... Нельзя ли подсунуть ему барашка в бумажке?

— Вы с ума сошли, Максим Лукич!

«Ну, суд!.. — угнетенно подумал подсудимый. — А того не знает, что честь всегда лучше бесчестия...»

II

Обвинение «по совокупности» распадалось на целый ряд дел, тех заурядных дел, о которых не стоило бы даже говорить. Отправным пунктом послужило «дело купца Максунова», заключавшееся в следующем. Степной купец Максунов приехал на Ирбитскую ярмарку, где у него была торговля бараньим салом. Ярмарка была бойкая, и Максунов расторговался своим товаром. Под конец, когда сводились счеты, к нему является молодой человек, по фамилии Калачиков, служивший раньше приказчиком у обанкротившегося купца Шершнева.

— Степан Иваныч, не знаете ли где мне местечко? — спросил молодой человек. — Вот полгода без дела шатался... Думал, в Ирбит-

ской подыщу занятие, а вот ярмарка кончилась, а я все в той же коже.

Максунов видал раньше Калачикова и пожалел. Что же, в самом-то деле, со всяким может беда приключиться, а парень совсем молодой; не умереть же ему с голода. Полученный на ярмарке барыш тоже много способствовал благодушному настроению Степана Иваныча.

— Вот что, молодец, скажу я тебе, — ответил он: — места у меня тебе нет, а помочь могу... Первое дело, отсюда я проеду на Степную ярмарку, так айда со мной. Мне все одно прогоны-то платить, а там, может, что и придумаем...

Конечно, Калачиков согласился, и они отправились в дорогу вместе. До Степной ярмарки было дней пять пути, но зимой эта дорога легкая, а шубы у Максунова, как печи с герметическими заслонками. Одел он и Калачикова, который щеголял в сак-пальто с барашковым воротником. Едет Максунов и все жалеет своего невольного спутника. Приехали в Степную, — Максунов по своим делам, а Калачиков опять место ищет. Искал-искал,

ничего не нашел. И Максунов за него хлопотал — ничего не выходит. Такой уж, значит, незадачливый человек уродился, что все у него клином. Только возвращается раз Максунов к себе в номер, а Калачиков висит на душнике. Вот так фунт... Что называется, поблагодарил за хлеб, за соль. Конечно, и записка: «В смерти моей прошу никого не обвинять». Одним словом, все в порядке устроил, как в газетах об таких делах описывают.

«Нечего сказать, ублаготворил!..» — подумал Максунов и сейчас же послал за полицией.

Как бывалый и тертый человек, он ничего особенного не боялся. Конечно, неприятно, хоть до кого доведись, а больше и ничего. Мог бы человек из благодарности в другом месте где-нибудь удавиться... Ну, да что тут толковать: и жить не умел и умер скверно. На заявление в полицию явился сам заседатель Максим Лукич. Максунов встречался раньше с ним, кучивали даже вместе, а поэтому он и отнесся к нему за панибрата.

— Вот какой гостинец, Максим Лукич...

— Да-с, казус не маленький, — отвечал за-

гадочно Максим Лукич. — Надо будет обыск небольшой сделать у вас... Конечно, я понимаю, что не вы же его удавили, но нельзя-с, форма. Сам подневольный человек...

— Зачем обыск, Максим Лукич? Помилуйте, у него решительно ничего не было, и привез-то я его сюда в своей шубе.

Одним словом, Максим Лукич сразу повел дело к «данным», а Максунов уперся: нет уж, извините, не прежняя пора, чтобы за здорово живешь и т. д. Максунов бывал и в Нижнем, тоже видал людей. Что же, он готов сделать благодарность, но в свое время, а не так, чтобы, например, вам прямо наступили на горло, и вынимай из кармана «данные». Наконец, это не по-товарищески, а еще вместе у арфисток путались.

— Делайте обыск, ежели это вам нравится, — заявил обиженный Максунов. — Здесь все мое, кроме вот этого мертвого тела...

Заседатель принялся за свое дело, а Максунов сидит и только посмеивается. Этакая старая крыса, что придумал! Пусть пороется. Максим Лукич действительно поусердствовал. Не только перерыты были все чемоданы

и разные дорожные вещи, но даже подпороты шубы и подушки.

— Кажется, теперь все-с? — спрашивал Максунов.

Последним Максим Лукич осматривал небольшой дорожный чемоданчик с разными бумагами, приходо-расходными книгами и счетами. Пересмотрев все, он остановился на конверте с надписью: 200 р. В конверте оказалось всего 12 р.

— А это как, по-вашему, называется? — спросил Максим Лукич, показывая конверт.

— Никак не называется: конверт, а в конверте 12 рублей денег.

— Так-с... А надпись «200 рублей» что означает?.. Это, государь мой, называется подлогом. Да... Это, государь мой, значит, что вы ездите по ярмаркам да обманываете публику. Впрочем, что тут толковать: улика налицо, а мы составим протоколец.

У Максунова лицо вытянулось. Был составлен протокол, подписан понятыми, скреплен Максимом Лукичом, а Максунов был подвергнут предварительному заключению.

— Максим Лукич, да ты послушай, пере-

стань шутить... — попробовал он уговорить поднявшегося на дыбы заседателя. — Ежели уж на то пошло, так я могу сделать благодарность...

— Поздно, государь мой, — печально ответил Максим Лукич. — Вот ты, борода, думаешь, что был два раза на ярмарке в Нижнем, так и расширился... Нет, погоди, я тебя укорочу!.. Будешь помнить Максима Лукича...

Дело о подлоге пошло законным ходом, а Максунов просидел в тюрьме ровно восемь месяцев, пока не был назначен в Западную Сибирь новый суд и пока его дело не попало в руки нового следователя, ахнувшего от изумления. Максунова, конечно, немедленно освободили от заключения, и Максим Лукич занял его место в качестве подсудимого. Таким образом, максуновское дело послужило только исходной точкой, а там посыпались новые дела без конца: подлоги, вымогательства, хищения в самой разнообразной форме и вообще превышение власти. Максим Лукич орудовал в степи, как своего рода царек. Но у каждого специалиста есть непременно свой конек, а таким коньком сибирского заседателя

были мертвые тела. Он перевозил их с места на место и получал «данные» на этом пути со всех. Одно мертвое тело он завез на мельницу, другое — к попу на погреб и т. д.

III

Речь молодого товарища прокурора была блестяща, как те первые весенние цветы, которые говорят о наступающем лучшем времени года. Он говорил о справедливости, об уважении к закону, о чувстве собственного достоинства, о правовых нормах, еще раз о справедливости и вообще сыпал великими истинами, составляющими разменную монету профессионального красноречия. После этого необходимого вступления он перешел к обстоятельствам настоящего дела и густыми красками набросал специальную картину разной сибирской неправды, невежества с одной стороны, и хищения с другой, а в применении особенно налег опять на «данные». Максим Лукич слушал эту блестящую речь и опять недоумевал. Первой полозины, признаться, он и совсем не понял, а со второй не мог согласиться, как порядочный человек. Нет, извините, он не злодей и не преступник,

а самый обыкновенный человек, как все другие, и поступал он тоже, как другие, — ни хуже, ни лучше. Несколько раз его так и подмывало прервать прокурорское красноречие и заявить во всеуслышание: «Ваше благородие, да за что вы меня судите-то? Сущие пустяки, о которых и говорить-то не стоит... Если уж судить, так судить вот за что...» — тут следовал целый ряд таких фактов, о которых прокурор и следователь были не известны и объявить которые Максим Лукич не имел права, потому что не желал оговаривать других. Да, он этого не хочет, и вот эти другие пусть казнятся, как он страдает за всех.

Прокурор закончил свою речь блестящей фразой, приправленной соответствующим жестом:

— Господа присяжные заседатели, в этом человеке (прокурорская рука указала на подсудимого) умерло решительно все человеческое, кроме страха наказания...

В зале царило гробовое молчание, когда прокурор спрятался наконец за своим пюпитром. Публика была подавлена, как те дети, которые в первый раз попали на исповедь. Мак-

сим Лукич сидел с опущенной головой, и какая-то конвульсивная улыбка кривила его губы. Что же, говорите, можно сказать все, а он не виноват... Вот тебе и «данные», Максим Лукич! И слово-то не его, а позаимствовано во времена оны от одного благоприятеля, консисторского чина, который тоже решал все дела «смотря по данным».

— Господа присяжные заседатели и господа судьи!.. — немного глухим голосом начал защитник Максима Лукича, привычным жестом вскидывая свое пенсне на нос. — Господь да просветит и вас, господа присяжные...

Максим Лукич широко раскрыл глаза от удивления: вот так выстрелил адвокат-то... Ловко!.. Под конец прокурорской речи, утомленный предшествовавшим судоговорением, Максим Лукич страшно захотел спать и, чтобы привести себя в сознание, считал число окон в зале и число набившейся в зале публики. Это скромное занятие разгоняло дремоту. День уже клонился к вечеру, а прокурор ни за что не хотел сделать перерыва. Максим Лукич начинал испытывать голодную зевоту и не прочь был перекусить. Ловкий приступ ад-

воката встряхнул его.

Теперь Максим Лукич был уверен, что его оправдают. Конечно, оправдают, если судить на совесть. Присяжные-то заседатели все знают и могут понимать.

Речь адвоката так и лилась рекой. Он ловко подхватил несколько неудачных выражений из прокурорской речи, бойко очертил показания некоторых свидетелей и подробно остановился на самой сущности дела. Вот тебе и фитюлька: как ножом, так и режет. Дремавшие присяжные тоже встрепенулись и с удивлением смотрели на адвоката, что он скажет в пользу кругом виноватого человека. Среда, унаследованные привычки, местные нравы, уровень развития — так и сыпались с адвокатского языка, точно пошел дождь.

— Я охарактеризую подсудимого проще и понятнее, чем господин товарищ прокурора, — говорил защитник, — Это законный сын известного строя жизни, известной обстановки и унаследованных привычек — не больше того... Мы все рабы времени, в какое живем, и платим ему тяжелую дань. Если бы на подсудимого надеть мундир господина товарища

прокурора, вооружить его уложением о наказаниях и поставить за прокурорский пюпитр, а господина товарища прокурора посадить на скамью подсудимых...

— Господин защитник, вы отклонились в сторону, — остановил адвоката председатель.

— Господа присяжные заседатели, я хотел сказать только то, что понять человека можно не иначе, — как поставив себя на его место, — ловко отпарировал удар г. защитник. — Пусть ваша совесть обвинит среду, обстановку, обстоятельства и привычки, которые подсудимого довели до настоящего положения, а люди— везде люди, и подсудимый не хуже вас с нами... На его месте мы, быть может, сделали бы еще больше зла!..

Эта горячая защита продолжалась битых часа два, так что адвокат начал хрипнуть и несколько раз вытирал вспотевшее лицо платком. «Вот именно...» — мысленно повторял за ним Максим Лукич и смотрел на присяжных заседателей, стараясь прочитать на их лицах свой приговор. Что он им-то сделал?.. И стоит сказать всего два слова: «Нет, не виновен», а что касается «данных», — так

уж бог с ними, с этими «данными». Главное, за пустяки судят.

Наконец адвокат кончил. После него говорил что-то товарищ прокурора, потом сделал свое резюме председатель, и наконец предоставлено было последнее слово подсудимому.

— Нет, не виновен... — упавшим голосом проговорил Максим Лукич, хотел еще сказать что-то, но горло точно сдавило что, и он только махнул рукой.

После получасового совещания присяжные заседатели вынесли свой вердикт, и старшина громко прочитал:

— Да, виновен...

Сначала Максим Лукич не понял смысла этих слов, а потом судорожно схватился за решетку и как-то грудью крикнул:

— Господа, да за что же?.. Уж если судить, так... Э, да что тут, впрочем, говорить!..

Мизгирь

I

Осенью, когда от первого инея закисала лиственница, я с винтовкой отправился на кордон при горной речонке Шипишной, чтобы провести несколько дней на одной из лучших охот. Шипишинский кордон поставлен был на полустанке между заводом Галчинским и пристанью Уралкой, куда лето и зиму везли железо и медь. Движение кладей усиливалось зимой, и транспорты останавливались на кормежку на Шипишинском кордоне, где были устроены громадные навесы для лошадей, амбары с овсом и сеновалы. От Шипишинского кордона было ровно двадцать верст и до завода и до пристани, места по реке Шипишной были вообще нетронутые и довольно дикие, а для осенней охоты лучших, кажется, и не придумать. Когда-то здесь был громадный курень[308], растянувшийся на десять верст, а теперь все поросло громадным смешанным лесом.

Вид на самый кордон открывался с ближайшей горы. Он стоял на луговине, на са-

мом берегу реки, которая вечно шумела по камням, пряталась в осоках и приречной поросли и разливалась тихими заводями, где ее подпирали новые камни. Кругом кордон был обрамлен зеленой стеной куренных березняков: такие березы, высокие, ровные, стройные, как восковые свечи, вырастают только на куренных пожогах.

Собственно кордон состоял из громадной русской избы с громадной русской печью и громадными полатями. Транспорты приходили подвод по сту, и нужно было обогреть где-нибудь всех ямщиков, напоить их и накормить. Транспортные ямщики вообще пользовались плохой репутацией, особенно те, которые ездили и зиму и лето. Летних ямщиков называли почему-то «соловьями», и это название переходило от одного поколения ямщиков к другому, как клеймо самого отпетого народа. В осеннюю распутицу транспортов шло совсем мало, и на кордоне дарили тишина и какая-то мертвая лесная лень. Без просыпу спал подручный кордонщик Пимка, молодой вороватый парень с красной затекшей шеей и припухшими глазами; без просыпу

спала кордонная стряпка Настасья, здоровенная бабища, точно сшитая из подошвенной кожи; спали собаки, и только бодрствовал за всех сам кордонщик по прозванию Мизгирь.

Это был тщедушный мужичонка, с сморщенным, маленьким лицом-кулачком и жиденькой бороденкой-мочалкой. Он вечно молчал и вечно что-нибудь промышлял по своему обширному хозяйству. Без дела я его никогда не видал: то он починивал какую-то сбрую, то рубил дрова, то поправлял что-нибудь у избы или на дворе. Он был из числа тех суетливых людей, которые не могут сидеть без дела. Лично мне Мизгирь напоминал трудолюбивого муравья из какой-нибудь басни.

— Ты отчего же подручного не заставляешь работать, а все сам?

— А так... Пусть его отдохнет, — коротко ответит Мизгирь, постукивая топором.

— Почему тебя Мизгирем зовут?

— А ростом не вышел, вот и стал Мизгирь. Еще ребята прозвали, когда мальчонкой был...

Между прочим, на обязанности Мизгиря

лежало охранение лесов на десять верст в окружности. Это уже так, между делом, для того, чтобы в заводских отчетах не оставалось пустой графы о лесном кордоне. Эта мудрая заводская экономия, впрочем, ничего не стоила и Мизгирю, потому что оберегать лес было не от кого: кому его нужно в этом глухом медвежьем углу? Но Мизгирь все-таки считал своей обязанностью каждую неделю обходить какой-нибудь участок из своих обширных владений, вероятно, главным образом потому, что любил природу и был поэтом в душе. Среди простого народа таких поэтов достаточное количество, и, вероятно, им обязано происхождение народных песен.

Характеристика Мизгиря была бы неполной, если бы я не прибавил описание собаки Мучки, сопровождавшей своего хозяина по пятам. Это была не охотничья собака в собственном смысле слова и не дворняга в тесном, а промысловая, одно из тех удивительных созданий, которые только не говорят. В характере специально охотничьих собак и в каждом их движении на меня производит всегда неприятное впечатление что-то лакей-

ское, приниженнее и вороватое, тогда как в промысловой собаке сохранились деловая серьезность и сознание своего собачьего достоинства. Такая собака не будет облаивать зря каждого встречного, не будет и ласкаться без пути или соваться без всякого толку, опять-таки потому, что у нее есть свое главное дело; хозяина ока стережет тоже умненько, как и ласкается. Мучка меня приводила! в восторг своим тактом, выдержкой и солидностью. И масть у нее была какая-то необыкновенная: настоящий волк, если бы не задранный кольцом хвост. По происхождению Мучка принадлежала к вогульским лайкам, и этот тип промысловой собаки выработался, вероятно, не одной сотней лет. Нужно было видеть Мучку на охоте, чтобы вполне оценить ее редкие качества. Мое появление с ружьем всегда производило в душе Мучки мучительную раздвоенность: своим собачьим сердцем она принадлежала Мизгирю, а охотничий инстинкт толкал ее ко мне.

Нужно было видеть собаку, когда мы отправлялись на охоту. Мизгирь всегда сопровождал меня, хотя и никогда не стрелял. Я по-

дозреваю, что он и ходил со мной только для того, чтобы потешить собаку. Мучка сама вела в лес и понимала каждое движение. Глаза ее блестели, движения принимали неуловимую грацию, какую породистому животному придает «кровь», и только время от времени она какими-то виноватыми глазами смотрела на хозяина, точно извинялась за свое охотничье опьянение.

— Ну, побалуй... — говорил Мизгирь. — Ишь воззрилась!..

— Отчего ты не заведешь себе ружья? — несколько раз спрашивал я у Мизгиря. — Сколько бы добыл себе дичи...

— Не люблю, — коротко отвечал Мизгирь.

— Да отчего не любишь?

— А так... неподходящее дело.

Сколько я ни добивался более обстоятельного ответа, но ничего не мог выпытать.

В своей даче Мизгирь знал каждый уголок, каждое дерево, каждый камень и мог пройти ее из конца в конец с завязанными глазами. Вообще в нем было много качеств настоящего лесника, начиная с необычайной способности ориентироваться. Он с точностью настоя-

щего хозяина знал, где, какие и сколько выводков, куда они выходят пастись, какие перемены произошли в их составе и т. д.

— Агромадных три петуха под Ереминым Верхом на лиственях кормятся, — сообщил он. — По заре так и поговаривают. С кордона слышно, как они бормочут.

Закисшая лиственница — любимое кушанье глухаря. Сначала птица садится на дерево кормиться только по зарям, а потом — и днем. Когда стоит слишком ясная погода или дует ветер, глухарь «сторожит», и к нему без собаки подойти на выстрел в такую строгую минуту почти невозможно. Лучшее время охоты — те серые осенние дни, когда с утра начинает «могросить». С собакой охота облегчается во много раз, особенно с такой, как Мучка. Она сама отыскивала глухаря не «по поеди», как другие собаки, не лаяла слишком громко и не прыгала на дерево, а выводила верхним чутьем. Глухарь в пернатом царстве напоминает какой-то дубоватой простотой медведя. В обыкновенное время очень чуткая и сторожкая птица, за исключением периода весеннего токования, на лиственнице он де-

лается совсем глупым, особенно, когда завидит собаку. Не нужно было даже говорить, кого облаивала Мучка: она так выразительно тявкала раза два — три и делала выжидательную паузу, давая время подойти. Заслышав наши шаги, она снова начинала лаять, чтобы отвлечь внимание глупой птицы на себя. Одним словом, удивительная собака.

Всего интереснее был момент, когда подкрадывание к птице кончалось и я взводил курок винтовки. Мизгирь затыкал уши пальцами и закрывал глаза, как слабонервная девица. Когда раздавался выстрел, он вздрагивал и как-то испуганно глядел на лиственницу, где сидел глухарь. К убитой птице он совсем не подходил.

— Боишься выстрела? — спрашивал я его.

— Нет... Крови боюсь, — отвечал он, закрывая глаза и съеживая свои почти детские плечи. — Страшно!.. Не могу... Сердце так и зайдется.

Нужно заметить, что прелесть осенней охоты на глухарей не в количестве убитой птицы, а в грустной поэзии умирающего леса, расцвеченного последними красками. Трудно

сравнить с чем-нибудь то чувство, которое охватывает вас, когда вы бродите по лесу такой осенью. Под ногами как-то по-мертвому шуршит облетелый лист, трава тоже сухая и жесткая, как волос, а зато какими яркими цветами играют березняки и осинники, точно обрызганные золотом и кровью! Воздух напоен тем особенным горьковатым ароматом, какой дает палый лист; осенний крепкий холодок заставляет вздрагивать, дышится легко, и вы переживаете то состояние приятного опьянения, какое производит дорогое старое — вино. Самая усталость не гнетет, а только сулит крепкий сон, отличный аппетит и какую-то необъяснимую полноту существования.

II

Раз вечером, когда мы возвращались с охоты, издали еще можно было разглядеть приваливавший к кордону транспорт. На полянке перед воротами стояли десятки роспусков, нагруженных железом. Погода стояла хорошая, и заводоуправление воспользовалось ею, чтобы отправить с Уралки осенний караван. У ворот нас встретил подручный Пимка,

почесывавший затылок.

Целое гнездо «соловьев» слетелось, — проговорил он. Ночевать остались, галманы.

— Ну и пусть ночуют, — покорно согласился Мизгирь, прибавляя шагу. — Надо овса отпустить... сена...

— Пусть кони-то сперва выстоятся...

У Настасьи уже топилась печь для «соловьев»: надо было готовить ужин. В воротах мы встретили плечистого и загорелого «соловья», известного под именем Волка. Он вышел из избы покурить на свежем воздухе коротенькую трубочку. Настасья не любила, когда «соловьи» курили табак в избе, и немилосердно их гнала на улицу даже в клящий мороз.

— А, Мизгирь... — лениво протянул Волк, презрительно оглядывая тщедушную фигурку кордонщика. — Веселенько ли прыгаешь?..

Мизгирь только сморщился и ничего не ответил. Он вообще не выносил «соловьев» с их грубыми шуточками и нахальством. Всех «соловьев» набралось больше десяти, и ночлег был испорчен. Обыкновенно ночевать на кордоне составляло одно удовольствие: На-

стасья содержала избу необыкновенно чисто и постоянно выгоняла спать Пимку куда-нибудь на сарай, так что даже Мизгирь заступался за своего подручного.

— Только дух в избе портит, — объясняла Настасья с обычной своей суровостью. — Мучка спит же на дворе, ну и Пимка тоже... Неважное кушанье...

Будь лето, и я предпочел бы выспаться где-нибудь на сеновале, но в сентябре на Урале ночи настолько холодные, что об этом нечего было и думать. А в избе сейчас набилось человек десять народа, и можно представить, какой стоял там воздух. Когда мы вошли в избу, на столе стоял ведерный самовар, а около него разместились вспотевшие, красные ямщичьи физиономии. Народ был все рослый, могучий.

— Эй, ты, святая душа на костылях! — крикнул кто-то на Мизгиря. — Куда запропастился?.. Пора коням задавать овса...

— А ты не ори, — ворчал Мизгирь. — Все будет...

— Ах, ты, Мизгирь... Настасья, и не нашла же ты себе хуже в мужья! Разве это человек:

взять двумя пальцами и раздавить, как клопа.

— И то замаялась я с ним, — отозвалась Настасья. — Только званье, что мужик, а какой в нем прок: комар комаром.

— Как же это ты, Настенька, этакая корпусная женщина, и вдруг за Мизгиря изгадала? Тебе бы, по-настоящему, какого мужа надо: ратника, одним словом. Тоже вашу сестру, бабу, вдругорядь и поучить надо, а ты зашибешь сама своего Мизгиря.

— Так уж, враг попутал, — отшучивалась Настасья, привыкшая к подобным разговорам. — Будто пожалела я его, а он меня и обманул... Ошибочка маленькая вышла.

Напившись чаю, я отправился на полати, где вповалку спало потомство Мизгиря. У него почти каждый год родился ребенок, но в живых оставалось всего человек пять. Старшему мальчику было уже лет восемь, а остальные — мелюзга. Дети ростом напоминали мать; все были такие же крепыши, и Мизгирь пестовал их с трогательной нежностью. Вся эта белоголовая детвора теперь уже спала мертвым детским сном. Я долго лежал,

прислушиваясь к галденью «соловьев». В избе оставались всего трое, да пришел еще с улицы Волк, поместившийся на приступке у печки. Мизгирь сидел на лавке, скрестив по-детски свои голые ноги. Рядом с ним сидел Пимка и вышучивал Настасью вместе с другими.

— Удивительное это дело, братцы, — гозорил Пимка, ухмыляясь. — Как это только по осени первый транспорт прошел, так у нас новый ребенок. Точно вот ветром дунет... Окказия!

Ответом послужил громкий хохот «соловьев».

— Уж Пимка, тоже и вырежет штучку!.. Как, говоришь, пройдет транспорт, так и ребенок? О-хо-хо...

— Правильно, — подтвердил Пимка, встряхивая своей беспутной головой. — Я так ребят и считаю осенями, по первому транспорту.

Мизгирь сидел на лавочке и как-то жалобно улыбался, склонив голову немного набок, Настасья сердито ворочала какие-то горшки в печи.

— Ай, Пимка, ай, прокурат!..

— И давно это примечаю я, братцы, что ре-

бята у нас ростом-то в транспортных.

— Слышь, Настасья?!.. О-хо-хо...

— Не вашего ума это дело! — огрызалась Настасья. — Тоже нашли над чем измываться... Охальники! Ты что это и впрямь, Пимка, зубы-то моешь? Я вот возьму ухват, да как примусь тебя обихаживать: только стружки полетят.

Не выйди из себя Настасья, все обошлось бы обычными шуточками, но она как-то сразу потеряла равновесие и ввязалась в разговор с настоящим бабьим азартом. Пимка тоже бы отстал, если бы бабья угроза не задела его мужицкой гордости.

— Что, Пимка, испужался? — поддразнивал Волк, лениво сплевывая в сторону. — Небось, не первый уж ухват Настасья ломает об тебя. Ты его, пса, хорошенько, Настенька!..

— Меня? — пробовал отшутиться Пимка. — Ну, еще мои-то ухваты в лесу не выросли... Ты, Волчище, не заедай: слышит кошка, чье мясо съела.

Эта выходка окончательно взорвала всех, так что сидевшие за столом ямщики покатились со смеху. Поощренный общим хохотом,

Пимка разошелся окончательно и прибавил:

— То-то сижу я как-то вот этак под вечер, значит, летом, а ребятенки на дороге играют... Играли-играли, а потом присели в канавку, да как по-волчьи взвоют...

Это был каламбур на прозвище «Волк», и вся изба точно вздрогнула от общего хохота, так что даже Волк смутился, не зная, что ответить охальнику Пимке. Со двора пришли остальные ямщики и тоже хохотали. Чтобы поддержать общее настроение, Волк подошел к Настасье и облапил ее.

— Ну, что, Настенька, греха таить... Было дело...

Это уж окончательно взорвало Настасью, но она по необъяснимой бабьей логике накинулась не на Пимку или Волка, а на своего безответного мужа.

— Ты это что молчишь-то, плесень?.. А? — заголосила сна «неточным» голосом. — Тут целая изба мужиков галится над женщиной, а он хоть бы слово пикнул!.. Какой ты мне муж после этого?.. Другой бы мужик разве дал свою бабу на сгал? А тебе, идолу, все одно... Ох, согрешила я с тобой!..

— Да ведь это все Пимка... — попробовал опраздываться Мизгирь, жалко моргая глазами. — Ты чего на меня-то лезешь?..

— Плесень гнилая! Тоже и скажет: Пимка! У Пимки в глазах стыда-то и не бывало сроду... А ты венчанный муж... Да другой мужик убил бы на месте, кабы тронули бабу-то.

За этим коротеньким супружеским диалогом последовало уже совершенно неожиданное заключение: Настасья схватила ухват и бросилась с ним на несчастного Мизгиря, который как-то по-детски закрыл голову руками и только старался, чтобы ухват попадал по спине. Все ямщики заливались хохотом, подливая масла в огонь.

— Дуй его, Настенька! Катай!.. Да ты по морде его, в скулу! Еще разок...

Эти крики, ямщичий хохот и полное нежелание даже защищаться со стороны мужа привели Настасью в дикое бешенство, и, бросив ухват, она вцепилась в мужа, как кошка. Мизгирь как-то жалко пискнул, как придавленный котенок, и покатился с лавки на пол. Тут уж вступился кто-то из ямщиков и оттащил ополоумевшую бабу.

— Настасья, брось!.. Будет дурить!..

Настасья посмотрела кругом остановившимися дикими глазами, хотела что-то сказать, но только махнула рукой и с причитаниями и воем бросилась в угол. Мизгирь, избитый и окровавленный, медленно поднялся с полу и медленно обвел глазами стоявших «соловьев». Он, очевидно, отыскивал Пимку, но тот во время свалки благоразумно успел выскочить во двор.

— На-ка, испей водицы, — предложил кто-то из ямщиков Мизгирю, подавая ковш с водой. — Этакую бабу да убить мало! То-то стерва...

Недавнее желание травить несчастного Мизгиря сменилось теперь общей жалостью, потому что «разве можно так увечить законного мужа, да еще на людях». Одним словом, поднялся весь порядок законных мужских чувств и мужской гордости. Настасья это чувствовала и не вылезала из своего угла, продолжая горько рыдать.

— Вот ты и рассуди бабу: кругом виновата и сама же ревет, как корова! — резонировал «соловей», отпаивавший Мизгиря водой. —

Хороший бы муж, значит, который мужик вполне, да он бы на мелкие части ее разорвал... Да он бы ее изволочил всю... Ногами бы истоптал... Вышиб бы дурь из головы...

— Оставь... — с какой-то большой кротостью остановил его Мизгирь. — Промежду мужем да женой один бог судья.

— В ногах бы она валялась у настоящего мужика... Да! Как змея бы ползала, а не то, чтобы дурь свою показывать...

— Говорю: оставь, — упрашивал Мизгирь.

— Эх, ты, горе лыковое! Говорить-то с тобой по-настоящему не стоит...

III

Мне не случалось обращать внимания на семейную жизнь Мизгиря, а рассказанный выше случай открыл многое такое, о чем посторонний человек мог только догадываться. Это была мужицкая «не пара» со всеми признаками внутреннего семейного разлада. Происходившая на моих глазах дикая сцена служила только выражением внутренней розни. Одним словом, Мизгирь меня заинтересовал, как муж-неудачник, каких немало, но здесь все происходило на подкладке му-

жицкой жизни.

На кордоне меня задержал выпавший ночью снег. Случилось это совершенно неожиданно. Погода стояла хорошая, хотя и с крепким осенним холодком; небо было чистое, безоблачное; ветер дул не из «гнилого угла», как Мизгирь называл северо-восток, а с полудня. Одним словом, все приметы обещали хорошую погоду. Но, когда утром проснулись «соловьи», все было покрыто снежной пеленой в четверть. Такой глубокий снег на Среднем Урале выпадает в первых числах сентября очень редко, а я видел его в первый раз.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... — ворчал Волк, надевая онучи. — На санях теперь в самую пору.

Положение транспорта, застигнутого снегом на половине дороги, было критическое. Упавший на сухую землю снег навертывался на колеса, как войлок, но не сидеть же из-за него- на кордоне. «Соловьи» перебрали весь лексикон своих крепких слов и тронулись в путь только часов в девять. Мизгирь проводил их, — стоя за воротами. Он жалел несчастных лошадей, вытягивавших тяжелые

возы из последних сил...

— Забьется бо-го-ва скотинка, — проговорил он вслух.

Я предполагал вернуться домой, но очень уж хорошо теперь было в лесу, особенно в чернолесье, где еще не спал осенний лист. Березы, рябины, черемухи и осины просто гнулись под тяжестью снежных хлопьев. Картина была единственная, особенно там, где с мертвой белизной — снега контрастировала! сохранившаяся листва: осинники точно были о-бр-ызганы кровью, которая резала глаза на белом снежном фоне. Я смотрел и не мог достаточно налюбоваться — так было все оригинально-хорошо.

— Премудрость божия, — объяснил Мизгирь, любовно оглядывая засыпанную снегом картину. — К урожаю ранний-то снег... В горах-то у нас, конечно, не займуются хлебом, а по крестьянам идет поверье. Крестьяне-то не чета нашим заводским: у них все по-божески.

— А что, пойдем сегодня на охоту?

Мизгирь точно смутился. Помявшись немного, он признался, что ему жаль молодых, которые еще в первый раз увидели снег.

— Тварь, а тоже чувствует, — объяснил он, увлекаясь темой. — Ножки-то на снегу зябнут, ну, они все по деревьям, как курицы.

— Чего же тебе жаль?

— А как же: смиренные они теперь, хошь руками бери. Потому чувствуют свою неустойку... Которая птица нонешнего лета, так ее уж сразу видно.

— Я молодых не буду стрелять...

— Старых петухов, пожалуй, и можно, потому как хороший хозяин держит и дома петуха всего три года...

На этом мы и согласились. Мизгирь повел в лес, и мы скоро разыскали несколько выводков. Мучка, конечно, шла за нами, но не облаивала птицу, а только подавала убитую.

Увлекшись охотой, мы незаметно ушли верст за пять, так что вернулись домой только к вечеру. Настасья за день успела, видимо, одуматься и конфузливо повертывалась к мужу спиной.

— Что, стыдно, небось, роже-то? — корил Мизгирь. — Каку моду придумала... Да еще по рылу норовит!

— Мужики проклятущие меня подо-

жгли, — сурово оправдывалась Настасья. — А ты молчишь, как пень березовый, — А того ты не подумала, кто я тебе?

— Известно, кто: муж.

— То-то вот и есть... Закону не понимаешь. Ты думаешь, я бы тебя не одолел, кабы на то пошло? Думаешь, большая мудрость человека ухватом обихаживать? Своих глаз не стыдно, так постыдилась бы чужих...

Настасья терпеливо сносила эту добродушную воркотню, пока в избу не вошел Пимка. Картина сразу переменилась.

— Да ты что пристал-то ко мне, смола? — накинулась она на мужа. — Без тебя знаю, где моя неустойка... Ежели бы ты был настоящий мужик, как прочие люди, а то вся-то тебе красная цена: недоносок.

Пимка не вступался в разговор, но его присутствие, видимо, раздражало Настасью. Мизгирь тоже как-то весь съежился и сразу замолчал. В этой сцене было что-то недосказанное. По пути Настасья побила подвернувшуюся под руку девчонку, швырнула какой-то горшок и вообще обнаружила явные признаки сильного раздражения. Мизгирь забрался на

печку и только вздыхал. Мужицкая обида тяжела и ложится на душу камнем, не то что легкое господское горе, которое все наверху. Годами она вынашивается, годами накипает, пока не прорвется каким-нибудь мужицким случаем, большею частью из-за пустяков.

Утром на другой день я отправился домой. Меня вез на охотничьих пошевнях Пимка, а Мучка из вежливости провожала версты три. Хорошо было ехать по молодому снегу, не тронутому еще ни одним пятнышком. Лес стоял в снеговом покрове, как очарованный, точно в каком-то сказочном царстве. Небо как-то сразу потеряло все краски, побелело по-зимнему, но яркий матовый свет заставлял жмуриться. Мохноногая лошадка бежала без понукания, легко и свободно, точно и она радовалась легкому зимнему пути. Пимка правил довольно небрежно и все насвистывал.

— Пимка, тебе не совестно? — спросил я.

— Это насчет третьеводнишнего, барин? — ответил он, поворачивая ко мне свое безбородое круглое лицо. — А я тут ни два, ни полтора... Грешат они промежду себя постоянно,

можно сказать, без утиху грешат. Известно, дура эта Настасья, потому как видела, за кого замуж шла.

— Она не любит мужа?

— А кто его знает... Поедом ест, а Мизгирь молчит. Ну, она, обыкновенно, пуще злится... Кабы настоящий мужик был, так он бы ее по первому слову выворотил наскрозь.

— Зачем же ты беса подпускаешь?..

— Да так... Надоело мне на кордоне жить до смерти: лес кругом. Праздник придет, а ты не знаешь, куда деваться... Одуреешь от этакой жисти. Ну, «соловьи» приедут, все же на людях как будто и веселее..

Помолчав немного, Пимка опять повернулся ко мне и убежденно проговорил:

— Все-гаки она его любит, значит, Настасья-то... Как-то он по весне разнемогся, так она ревмя ревет, а выздоровел — опять грешит.

— А ты давно живешь на кордоне?

— Да уж лет с десять будет. Полюбила собака палку — так и я. Отбился от другой всякой работы, измотыжился. Вот погляжу еще с годок да в транспортные определюсь, барин. А

что касаемо Мизгиря, так ведь я не со зла шутку сшучу иной раз. Конечно, кабы настоящий он мужик, так тоже не посмел бы я озорничать-то...

Незадолго перед рождеством ко мне завернул Мизгирь. Он привез целый мешок с морожеными налимами, которых ловил в это время в своей речке Шипишной по каким-то ямам и омутам. Мизгирь вытряхивал мешок, и мерзлая рыба рассыпалась, как раздернутая связка кренделей. Налимы редко замерзают клином, как другая рыба, а непременно изовьются в разные фигуры. Можно мерзлого налима разломить, как сухарь. Но если такую мерзлую рыбу оттаять постепенно, то она оживает, и недавние мерзлые крендели начинают ползать по полу. Как Mite рассказывали, положенные в пирог, они выползали из теста в печи. Последнего я не видал, а как они оживали на полу — наблюдал много раз. Не знаю, сколько времени может сохраняться эта живучесть, но во всяком случае она заслуживает внимания.

— Ну, что новенького, Мизгирь? — спрашивал я своего гостя.

— Да все то же, что и раньше... Волки ноне одолевают.

Мизгирь заметно похудел — и выглядел еще меньше. Я предложил стаканчик водки, но он отказался.

— Не потребляю... Будет. И то грехов-то накопил достаточно...

— А здоровьем как?

— Ничего, слава богу. По весне меня прижало будто, а теперь ничего. Настасья наказала кланяться...

— Часто ссоритесь, или нет?

— Бывает... Карахтерная она у меня, а так ничего. Проворная баба, другой-то такой поискать...

Помолчав немного, он проговорил с какой-то детской улыбкой:

— Недавно о. на у меня прощения просила, значит, Настасья... Верно говорю.

— Опять, вероятно, побила тебя?

— Около этого... Только я ее-то, Настасьину драку, ни во что кладу: себя она не помнит, когда в карахтер свой войдет. Конечно, об стену головой тоже не бьется, все меня норовит благословить чем попадя... Это есть. А толь-

ко и другое надо рассудить, барин; сегодня транспортные, завтра транспортные, — своим хозяйством другая-то баба едва управляется, а Настасья вон какую страсть воротит. Работа работой, а потом тут еще озорство да высмехи, а бабье сердце тут и есть: вскипело и готово. Ежели бы нам так устроиться, чтобы не на людях, — другой совсем разговор. Конечно, привык я к лесу, обжился вот как, а все-таки думаю бросить кордон... Ну его совсем!

— Куда же ты думаешь?

— А в крестьяне уйду... В орде[309] сказывают, земли много пустует. Вот и уйду в орду... Хлеб буду сеять, хозяйство заведу, а по зимам в кузнице буду робить, потому как к этому делу я сызмала свычен. Непременно уйду... Надоело.

IV

Вскоре после этого визита Мизгиря разнеслась весть о разыгравшейся на Шипишинском кордоне драме. Дело случилось перед самым рождеством, когда приходил последний перед праздником транспорт железа из Галчинского завода на пристань Уралку. Разыг-

рался буран, и транспорт заночевал в кордоне. «Соловьи» разместились ночевать в избе, и в числе других уже знакомый мне Волк. Мизгирь с вечера еще обратил на себя внимание тем, что сам предложил лучшее место на лежанке у печки именно Волку. Улеглись спать и заснули мертвым ямщичьим сном. Но в глухую ночь все повскакали от неистового крика Настасьи:

— Убил!.. Ой, батюшки, убил! — голосила она в темноте благим матом.

Когда зажгли огонь, представилась ужасная картина: на лежанке у печки лежал ямщик с отрубленной головой, а Мизгирь спокойно сидел в уголке у двери и даже улыбался. Убитым оказался какой-то Спиридон Немтырь: у каждого «соловья» была своя кличка в артели.

— Это я убил... вяжите... — спокойно заявил Мизгирь.

Его, конечно, сейчас же принялись вязать, и тут только выяснилась роковая ошибка: Мизгирь хотел убить Волка, а по ошибке убил Немтыря. Случилось это потому, что Волк ночью выходил на двор посмотреть лошадей, а

Немтырь, спавший на полу, захотел пошутить и занял его теплее место у печки, да сейчас же и заснул мертвым сном. Вернувшись в избу, Волк нашел свое место занятым и спокойно улегся спать на полу. Можно себе представить изумление Мизгиря, когда к нему с веревкой в руках подошел тот самый Волк, которого он считал убитым. Это была ужасная минута. Мизгирь бросился на Волка, как кошка, и вцепился в него зубами, но тот одной рукой поднял его на воздух и связал, как бабы пеленают ребят. Только тут обессилевший Мизгирь окончательно пришел в себя и заплакал.

Всего удивительнее в этой драме было то, что убийцей явился Мизгирь, тот самый Мизгирь, который не мог зарезать курицы и не выносил вида крови. Ямщики так бы и проспали до утра, не услышав ничего, если бы не проснулась Настасья, разбуженная ударом топора. Мизгирь рубил предполагаемого Волка со всего плеча и в темноте несколько раз промахнулся. Настасья в темноте не разглядела, кто и кого рубит.

Дальше все пошло обычным путем. «При-

гнал» урядник и произвел полицейское дознание, потом явился следователь и произвел следствие, а затем Мизгирь был препровожден в тюрьму для предварительного заключения. Я постарался увидеть следователя и расспросил о подробностях дела.

— Психопат какой-то, — объяснил представитель Фемиды: — хотел убить одного, а убил другого... В моей практике это третий случай. Если что интересно в этом деле, так это его романическая подкладка. Свидетельскими показаниями установлен факт, что единственный мотив — ревность... В моей практике таких случаев десятки. А в сущности, самое глупое дело, и, собственно, следователю тут почти делать нечего. Все как на ладони, да и убивец дает чистосердечное показание.

Как оказалось потом, следователь слишком уж положился на свою опытность: дело оказалось совсем не простым.

В Галчинский завод через два месяца выезжала сессия ...ского окружного суда. Дел было достаточно, так что дело Мизгиря дождалось своей очереди только через год. Я нарочно отправился в Галчинский завод, чтобы присут-

ствовать на разбирательстве. Помещение для суда было маленькое, публики много, так что и судьи и присяжные обливались потом, а с одним присяжным сделалось дурно. Мизгирь на скамье подсудимых казался совсем мальчиком и меньше всего походил на убивца. Меня поразило лицо Мизгиря: точно оно выцвело в тюрьме — такое бледное, бледное, совсем восковое. На нем застыла торжественная покорность своей судьбе и не было даже тени неприятной арестантской рисовки. Он сидел целые часы совершенно неподвижно, стараясь не проронить ни одного слова. Мне казалось, что он все время молился.

Самой интересной частью процесса, конечно, был допрос самого подсудимого и свидетелей.

— Признаете ли вы себя виновным, Сидор Парфенов? — спрашивал стереотипной формулой председатель.

— Мое дело... — глухо ответил Мизгирь, не шевельнувшись. — Враг попутал, ваше высокоблагородие. Не думал, что господь приведет на подсудимую скамью...

Затем он так же спокойно и с мельчайши-

ми подробностями рассказал последовательный ход событий: как женился, как поселился на кордоне, как жил согласно с женой и как закралось в его душу первое подозрение. Мужицкая ревность накоплялась годами, но он старался не верить самому себе и сдерживался. Жена часто взъедалась на него, даже била и срамила при других, но все это было пустяками перед ревностью, охватившей его года два назад. Транспортные не шли с ума, а тут еще Пимка «подзуживал» да поднимал па смех.

— А я все сумлевался... — рассказывал Мизгирь с своим трогательным спокойствием, — все сумлевался, пока не увидал своими глазами...

Он тяжело замолчал, точно уперся в стену.

— Что же, вы были свидетелем неверности вашей жены? — спросил председатель, помогая ему перейти затруднение.

Мизгирь не понял вопроса, а когда ему предложили его в другой форме, махнул рукой.

— Зачем свидетелем?.. Не таковское дело, а тут совсем другое. Старшему мальчонке, зна-

чит, Пиколке, девятый годок пошел. Ну, как-то гляжу я на него, а меня точно кто ножом полыхнул: вылитый Волк... Затрясло меня, в глазах все измешалось — смерть моя пришла. Гляжу на других ребят, и в них тоже вся Волчья кровь, а моего ничего. Тут меня и угрызло. День и ночь одно это думаю; сна лишился, еды не принимаю, а все думаю. Известно, ребята на глазах вертятся, а меня это еще пуще разнимает. Всю осень я так-то терпел, а потом и порешил кончить Волка... Раньше все обдумал, куда его положить, и топор припас. Ну, а тут уж моя неустойка вышла, что другой подвернулся в темноте.

Обдуманное намерение было налицо, и Мизгирь сам надевал себе петлю на шею; но он был рад поведать всем, что перестрадал, и ничего не утаивал.

Свидетелей набралось около десяти человек, все «соловьи», а затем Настасья и подручный Пимка. Из «соловьев» заинтересовал публику только один Волк, когда защитник Мизгиря начал допрашивать о его отношениях к Настасье.

— Вы находились в близких отношениях с

ней?

— Известно, в близких... На что ближе: она нам стряпала, а мы ели. Тоже намаешься дорогой-то, особливо зимой, продрогнешь, а у Настасьи все уже готово, только пар идет...

— А вы не знаете, почему Парфенов хотел именно вас?

— Это Мизгирь-то? Известно, не от ума...

Допрос Пимки тоже ничего не выяснил, потому что подручный нес невозможную околесную и далее уверял, что Мизгирь раз «застал» Волка и Настасью вместе. Он перепутал данное показание на предварительном следствии и все старался оговорить Волка. Так от него и не добились правды, хотя Пимка должен был знать больше других.

Последней свидетельницей являлась Настасья. Она едва держалась на ногах. Когда пристав указал ей место, где стоять, Настасья перекрестилась и бухнулась ему в ноги.

— Мое дело, ваше высокоблагородие, — заговорила она торопливо, с своим решительным видом. — Кругом виновата по своей женской части, потому как спуталась с подручным... Из-за него и все дело вышло. Мой

грех... А Волк тут ни при чем. Это Пимка придумал, чтобы прикрыться Волком, и травил мово мужа. И дети от Пимки... Ну, ему тоже совестно, вот он и удумал на Волка.

Произошла самая раздирательная сцена, когда Настасья повинилась в своем бабьем грехе. Она так разревелась, что председатель велел ее вывести.

После короткого совещания присяжные вынесли Мизгирю обвинительный приговор. Он выслушал его спокойно и перекрестился. Суд приговорил его в каторжные работы.

Последним словом этой мужицкой драмы было то, что Настасья изъявила непременнее желание следовать за мужем и через полгода ушла в Сибирь за арестантской партией.

Пир горой

(Повесть)

I

Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом, высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый, почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селение называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет пятидесяти, с обветрелым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири; в руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца, — она говорила о далеком пути.

Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек, — недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова.

— Угодное место... — проговорил странник и перекрестился.

Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы, и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом (забором), а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней и направился странник. Он постучал в оконце и помолитвовался.

— Господи, Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека — исконный сибирский обычай. Только на второе молитвованье в окошечко «отдали аминь» и показалась старушечья голова, замотанная платком.

— Аминь, добрый человек... Кого тебе, миленький?

— А Якова Трофимыча, мать честная...

— Якова Трофимовича? Нету у нас такого, миленький.

— Как нету? Должон быть.

— А вот и нет!..

Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.

— Што ты привязался-то? — ворчала старушечья голова, приотворяя оконце вполовину. — Сказано, нет! Иди своей дорогой, миленький...

— А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?..

Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.

— Погоди ужо... — ответила старуха и скрылась.

Опять странник остался у ворот. Солнце уже село, и потянуло резким весенним холодком. С Увека доносился хриплый лай цепных собак, — селение раскольничье, и жили в нем по старине, крепко.

— Угодное место... — еще раз проговорил странник, подсаживаясь на призоротную скамейку. — Боголюбивые народы недаром строились... Вон как селитьба-то разлеглась, верст на шесть по берегу будет.

— Кто там хрещеный, — послышался голос в окне.

Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке.

— Дельце есть небольшое...

— Да ты сам-то кто будешь?

— Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила... Крепко наказал кланяться и грамотку прислал.

— Давай грамотку-то...

— Не могу, честная старица: наказано матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого.

Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше.

Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней [310]. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса.

— Ужо подожди здесь, — остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо.

В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрело на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет шестнадцати, и ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в

каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши на Увеке послушницы, нечего сказать!..

Войдя в избу, странник положил начал [311] и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил:

— Прости, матушка, благослови, матушка...

— Бог тебя простит, странничек, бог благословит, — не по летам певуче ответила старуха, оглядывая гостя. — От Мисаила сказался?

— От его, видно, — ответил странник, добывая из-за пазухи кожаный кошель, — Вот тебе и грамотка, честная мать...

Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила:

— Егор-то Иваныч дожидает тебя. Нарочно сегодня пригнал из городу... Спиридоном тебя звать? Так, так... Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проведи ты его к Якову Тро-

фимычу...

Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в устороньe.

— Из тайги пришел? — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.

— Оттедова, голубушка... А ты кто такая здесь будешь?

— Я-то? А дочь Егора Иваныча... Мамынька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал, под начал матери Анфусе. Четвертый год здесь проживаюсь...

— Так, так...

У флигеля пришлось опять молитвоваться, пока в волоковом оконце[312] не показалось бледное женское лицо.

— Это ты, Аннушка?

— Я, Агния Ефимовна... Вот привела к вам таежного мужика.

Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся

свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика — один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь.

Егор Иваныч надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.

— Ну, што? — спросил слепой, когда Егор Иваныч снял очки и начал их укладывать в медный футляр.

— А вот спросим Спиридона, — ответил Егор Иваныч. — Ну, Спиридон, што ты нам

скажешь?

Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.

— Вот оно самое... — тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.

— Может, у бухарцев купил? — недоверчиво спрашивал Егор Иваныч, перегребая пальцем золотой порошок.

— Нет, сам добыл, Егор Иваныч... На охоте с орочоном встретился, а он мне и указал место. Могу доказать... Богачество, Егор Иваныч! Ежели бы господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть...

II

Слухи о сибирском золоте ходили уже давно среди уральских раскольников, особенно среди тех из них, которые вели крупные торговые дела с киргизской степью. Егор Иваныч вырос в подручных у крупных торговцев салом, Ивачевых, и не один год провел в степи. Там, на степных стойбищах, в киргизских

аулах и кибитках, он слышал десятки рассказов о сибирском золоте, скрытом в глубинах непроходимой тайги, как заветный клад. Эти рассказы переходили из рода в род, и никому еще до сих пор не удалось добраться до сокровища, несмотря па очень смелые попытки, как, например, история знаменитых братьев Поповых, положивших на это дело миллионы. Егор Иваныч успел состариться, а сокровище оставалось нетронутым. И вот теперь, когда его голова уже покрылась первым снегом, оно само пришло к нему, это сокровище. Во всей истории было что-то сказочное: и Спиридон, и старец Мисаил, и слухи, которые опередили Спиридона. Сам Спиридон не внушал Егору Иванычу доверия: мало ли по Сибири таких бродяг шатается! Просто купил у бухарцев золота и подманивает.

— Ну, вот что, мил друг, утро вечера мудренее! — строго проговорил Егор Иваныч, поднимаясь с места. — Сегодня ты ступай в Увек, там заночуешь. Третья изба с краю... Скажи, что Егор Иваныч прислал. Да смотри: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Мужик посмотрел на Егора Иваныча ис-

подлобья, как настоящий травленый волк, а потом свернул свою тряпочку с золотом и ответил;

— Што же туг держать-то: я никого не неволю. Дело полюбовное, Егор Иваныч.

Егор Иваныч покраснел, но сдержался и только сухо ответил:

— Што же, другим понесешь золото?

— А хошь бы и так... Ведь ты меня не купил. Говорю: любовное дело. Брюхо за хлебом не ходит...

— Как ты сказал, мил человек?

— А так и сказал... Сначала коня запрягают, а потом в сани садятся. Я-то вот тыщи с три верстов отмерил до тебя, а ты меня пирожком накормил...

У Егора Иваныча глаза потемнели от бешенства, — очень уж дерзкий мужичонка, — по он переломил себя и только заметил:

— Зубы-то, мил человек, побереги. Пригодятся...

— У волка в зубе — Егорий дал! — смело ответил странник.

Когда он вышел, Егор Иваныч громко ударил по столу кулаком.

— Нет, как он разговаривает-то, челдон?!.. — кричал старик, давая волю накопившемуся негодованию. — Слышал, Яков Трофимыч?

— Как не слышать, — равнодушно подтвердил слепой. — Значит, вполне надеется оправдать себя, ежели такие слова выражает. И то сказать, што ему кланяться нам со своим золотом?..

— Да ведь это еще в трубе углем написано, его-то золото!..

Надо его еще найти, а он вперед на дыбы поднимается... Одним словом, варнак...

Не велик, видно, зверь, да лапист. А Мисаил-то што пишет?

— Да вот послушай, Яков Трофимыч... Очень уж уверился старичок вот в этом самом Спиридоне. Как бы ошибки не вышло.

Егор Иваныч опять оседлал свой нос очками, развернул грамотку и только приготовился читать, как в горницу вошли Агния Ефимовна и Аннушка. Старик нахмурился и проговорил, обращаясь к дочери:

— Анна, ты иди-ко к себе в келью. Не бабьего это ума дело, штобы наши разговоры

слушать...

Послушница простилась и вышла, а Агния Ефимовна, как ни в чем не бывало, подсела к мужу, положила к нему руку на плечо и вызывающе посмотрела на сердитого гостя своими большими карими глазами. Егор Иваныч вскочил и грузно заходил по комнате.

— Ну, што же Мисаил-то? — спросил слепой.

— Ах, отстань!.. Терпеть ненавижу, когда, например, всякая баба будет нос совать не в свое дело. Всяк сверчок знай свой шесток...

— Куда же мне идти от слепого мужа? — спрашивала Агния Ефимовна самым простым тоном. — Он как малый ребенок без меня...

— Не тронь ее, Егор Иваныч, — вступился за жену слепой. — Она у меня разумница... Не бойсь, не разболтает чего не следует. Ты, Агнюшка, не бойся...

— И то не боюсь, Яков Трофимыч. Не какая-нибудь, а мужняя жена. Некуда мне уходить-то...

Агния Ефимовна была еще молода, всего по тридцатому году, и сохраняла еще свою женскую красоту. Лицо у нее было тонкое, бе-

лое, нос с легкой горбинкой, брови черные, губы алые; сидение в скитском затворе около слепого мужа придавало этому лицу особенную женскую прелесть. Вывез жену Яков Трофимыч откуда-то с Волги, когда зрячим ездил по своим делам в Нижний. Егор Иваныч как-то инстинктивно не любил вот эту Агнию Ефимовну, правильнее сказать, не верил ни ее ласковому бабьему голосу, ни этому смиренному взгляду, ни ее любви к мужу. Сейчас в особенности старик ненавидел эту женскую прелесть, мешавшую делать большое мужское дело.

— Ну што же ты, Егор Иваныч? — спрашивал слепой, — Што тебе Мисаил-то пишет?

— Не мне, а матери Анфусе, — поправил его Егор Иваныч. — Дело не в письме, Яков Трофимыч... Нет, не могу я с тобой по-сурьезному разговоры разговаривать!..

Слепой тихо засмеялся, откинув назад голову. Агния Ефимовна поднялась, выпрямилась и заговорила твердым голосом:

— Ты не можешь, Егор Иваныч, так я тебе скажу...

— Ну, ну, скажи! — подзадоривал старик,

усаживаясь к столу. — В чем дело, Агния Ефимовна? Поучите нас, дураков...

— Приходится, видно, поучать... Зачем Спиридона отвел сейчас? Характер свой захотел потешить? Только одно забыл, што этот Спиридон из тайги сюда три месяца шел, што ежели бы его поймали на дороге с золотом, так ни дна бы, ни покрышки он не взвидел, што... Одним словом, нужный человек, а ты ему ни два ни полтора.

— Верно, Агнюшка, — поддакивал слепой. — И я то же говорил... Егор Иваныч, ты не серчай, а у нас все заодно: у одного на уме, а у другого на языке.

— Так, так... Правильно! — иронически согласился Егор Иваныч. — Еще не скажешь ли чего, матушка Агния Ефимовна? Откедова ты это все вызнала-то, скажи-ко попервее всего?

— А сорока на хвосте принесла...

— А не сказала тебе сорока, чего будет стоить эта игрушка со Спиридоном?

— Тысяч на тридцать можно обернуться...

— А где их взять?

— Яков Трофимыч даст... Дело верное, ежели старец Мисаил одобряет. Не таковский че-

ловек, штобы зря говорить.

Егор Иваныч поднялся, прошелся по комнате, остановился около слепого и проговорил сдавленным голосом:

— Дашь, што ли, Яков Трофимыч, ежели дело на то пойдет? Мисаил-то пишет, действительно, того...

— Дать, Агнюшка? — спрашивал слепой.

— Ежели старец Мисаил благословляет, так, известно, дать, — решила Агния Ефимовна. — Ему-то ближе нашего знать...

Егор Иваныч стоял и молча смотрел на мудреную бабу. Ох, велика человеческая слабость, особливо, когда бес прикачнется вот на такой лад, с бабьими лестными словами!.. И сам он то же думал, только не хотел показывать виду, а баба все и вывела на свежую воду, как пить дала...

— А ты бы, Агния Ефимовна, все-таки вышла бы лучше в свою горенку, — проговорил Егор Иваныч, выдерживая характер. — Бабье-то «так» пером по воде плавает...

— Не тронь ты ее!.. — взмолился слепой. — Она у меня вместо глаза. Поговорим ладом... Што она, што я — разговор один.

— А ежели не привык я с бабьем разговаривать? Ну, да дело твое. Немощь тебя обуяла, Яков Трофимыч. Оно и взыскивать не с кого. Я это так, к слову пришлось.

Беседа задлилас. ь во флигельке за полночь. Говорил один Егор Иваныч, обсуждая новое дело со всех сторон. Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. В конце концов состоялось соглашение, и старики ударили по рукам.

— По первопутку поеду в тайгу со Спиридоном сам, — говорил Егор Иваныч. — А там што бог даст...

Агния Ефимовна вышла провожать старика в сени и, стоя на пороге, проговорила:

— Моя любая половина, Егор Иваныч.

— Из чего это половина-то?

— А из чистых барышей...

Старик только тряхнул головой: черт, а не баба.

III

Появление Спиридона в Увеке наделало шуму во всем раскольничьем мире. Молву о сибирском мужике, отыскавшем золото, раз-

несли по богатым раскольничьим милостивцам разные старушонки-богомолки, странники, приживальцы — вообще весь тот люд, который питался от крох падающих. Откуда могли вызнать все это проходимцы, трудно сказать, тем более, что переговоры Спиридона с Егором Иванычем происходили келейно. Как-никак, а молва докатилась через несколько дней до города Сосногорска, где жили богатые промышленники и заводчики: Огибенины, Рябинины, Мелкозеровы. По богатым палатам сосногорских толстосумов шли теперь оживленные толки, и все они сводились на Егора Иваныча, который продался слепому Густомесову. Каждому хотелось отведать сибирского золота, и каждый мог только завидовать счастью слепого Якова Трофимыча, — вот уж именно «слепое счастье». С другой стороны, всем было понятно, как совершились события: старец Мисаил, к которому пришел Спиридон, сделал засылку честной матери Анфусе, чтобы оповестила богатых милостивцев, а честная мать Анфуса давно дружила с Егором Иванычем, единственная дочь которого воспитывалась в скиту у Анфусы. Дальше

уж пошло само собой: Густомесов проживал в скиту уж близко десяти лет и кормил всю обитель, — ну, Анфуса и направила к нему Егора Иваныча, а Егору Иванычу тоже не вредно, если поведет все дело на капиталы слепого хозяина — сам большой, сам маленький будет во всем. Одним словом, история разыгралась, как по писаному, и комар носа не подточит.

Нашлись любопытные, которые нарочно ездили в Увек, чтобы хоть издали поглядеть на таинственного сибирского мужика. Он проживал в избе у старухи-бобылки и показывался только на озере, куда выезжал на плотике удить рыбу. Целые дни проводил он за этим «апостольским ремеслом» и ни с кем не хотел водить знакомства. Даже в скит к Анфусе ходил редко, и то на службу. Крепкий был мужик, одним словом. Выискался было один шустрый подручный от Рябининых, который с удочкой подчалил на лодке к плотику Спиридона, чтобы завести знакомство, но и из этого ничего не вышло, — хитрый сибирский мужик даже не взглянул на него и сейчас же поплыл к своему берегу.

— Оборотень какой-то! — ругали все сибирского мужика, — Чего он сторонится всех, как чумной бык?

Дальше интересовало всех, как обойдется Егор Иваныч со своим хозяином Мелкозеровым, у которого служил с малых лег. Мелкозеров был из сальников, вместе еще с Густомесовым вел дела в степи, а потом попал в случай: продавались железные заводы у промотавшихся наследников, и Мелкозеров купил их. Все дивились необычайной смелости Мелкозерова: дело было миллионное, непривычное, а он не побоялся. Много было волокиты и хлопот, чтобы просто купить эти заводы, потому что приобретать населенные имения могли только дворяне, а не купцы. Сильно тряхнул тугой мошной Мелкозеров и добился своего, а потом уже развернулся во всю ширь. Дело было громадное, прибыльное и сулило впереди миллионы. «Ндравный» человек Мелкозеров превратился быстро в самодура и на своих заводах являлся страшной грозой. Все трепетало перед ним, тем более, что от него зависели жестокие заводские наказания. Крут был сердцем Мелкозеров, и все боялись

его, как огня. Не боялся только один Егор Иваныч, состоявший при нем зараз в нескольких должностях: он и с подрядчиками ведался, он и горных чиновников умасливал, он и всякие тайные поручения исполнял — везде поспевал Егор Иваныч, как недремлющее око. И вдруг Егор Иваныч отшатится от Мелкозерова прочь, — никто даже представить себе не мог, как это произойдет. Между тем все шло по-старому, и Егор Иваныч не подавал никакого виду: все тот же Егор Иваныч, точно ничего не случилось. Мелкозеров, конечно, уже знал о сибирском золоте и тоже не подавал виду, что знает что-нибудь. Крепкие люди сошлись.

Однако выпал роковой день, когда все разрешилось само собой. Это случилось в июле, в самую страду. У Мелкозерова было два железных завода, и управляющим состоял его племянник Капитон Титыч, такой же «ндравный» и упрямый человек, как и сам старик Мелкозеров. Летнее время на заводах тихое, потому что рабочие распускались на страду. Сам Мелкозеров проживал в Сосногорске и потребовал к себе племянника для каких-то

объяснений. Но вместо племянника получилась коротенькая записка: «Рыбу ловлю. Некогда. Да и говорить нам с тобой, дядя, не о чем сейчас. Капитон Мелкозеров». Вскипел старик и послал строгий наказ ослушнику явиться немедленно. В ответ получилась записка еще короче: «Не хочу. Капитон Мелкозеров». Это уже окончательно взорвало старика, и он послал на заводы нарочитых людей, чтобы привезли Капитона живого или мертвого.

— Я за все в ответе! — кричал старик, — Орудуй в мою голову!..

Прежде он поручил бы это дело Егору Иванычу, а теперь обошел его. Это был явный признак опалы. Егор Иваныч не шевельнул бровью: не его воз, не его и песенка.

Итак, стоял жаркий июльский день. Егор Иваныч по обыкновению сидел в своей конторе, устроенной при громадном мелкозеровском доме. Контора выходила окнами на улицу, и Егор Иваныч видел, как к воротам подъехала простая деревенская телега, на которой сидели четыре здоровенных мужика.

— Капитона привезли!.. — пронеслось по

конторе.

Все служащие так и замерли, ожидая, чем разыграется вся история. Телега въехала во двор и остановилась у крыльца. Доложили о приехавшем госте самому хозяину. Выбежал на крыльцо оторопелый подручный и проговорил:

— Капитон Титыч, пожалуйте в контору... Лаврентий Тарасыч сейчас туда придут.

— Не хочу... — ответил лежавший на телеге Капитон; он и не мог прийти, потому что был связан по рукам и ногам.

А старик Мелкозеров уже успел спуститься в контору и смотрел в окно. Он даже зашипел от ярости, услышав такой ответ.

— Как же он придет, ежели лежит связанный, — объяснил спокойно Егор Иваныч.

— Ну, ступай приведи его, дурака...

Егор Иваныч отправился, велел развязать Капитона, но тот продолжал лежать в телеге и не хотел вставать.

— Не хочу... — ответил Капитон на все уговоры.

— Несите его, щучьего сына, на руках! — крикнул Мелкозеров в окно.

Здоровенные мужики подхватили ослушника на руки и внесли в контору. Трудненько было тащить здоровенного мужика, но ничего, внесли. В конторе Капитон не пожелал встать на ноги, а растянулся на полу, как пласт.

— Ты это што дуришь? — накинулся на него Мелкозеров. — Да я тебя в остроге сгною… запорю!.. И отвечать не буду!

— Руки коротки, — спокойно ответил Капитон. — Не крепостной я тебе дался.

Нужно было видеть старика Мелкозерова в этот момент. Он весь побледнел, затрясся и со сжатыми кулаками бросился к Капитону. Трудно сказать, что произошло бы тут, если бы Егор Иваныч не загородил дороги. Гнев старика целиком обрушился на непрошеного заступника.

— Ты… ты… ты Иуда! — задыхавшимся голосом повторял Мелкозеров, позабывая о лежавшем на полу Капитоне. — Ты продал меня… Старая-то хлеб-соль забывается! Иуда…

Мелкозеров затопал ногами, зашипел и даже замахнулся кулаком на Егора Иваныча.

— Я все знаю… — уже хрипел он. — Да,

все... (Лакался ты со скитницами и обходишь теперь слепого дурака!

— Никого я не обходил, Лаврентий Тарасыч, — слегка дрогнувшим голосом ответил Егор Иваныч. — Тебе вот я сорок лет прослужил верой и правдой, а не имею сорока грошей. Больше не могу... Не о себе говорю, а о дочери Аннушке... Об ней пора позаботиться. Не хочу ее нищей оставлять.

Мелкозеров даже отшатнулся от верного слуги, посмотрел на лежавшего на полу Капитона и потом проговорил, указывая на него:

— Ты сговорился с ним... Может, вместе собрались убить меня? А?!

— Зачем убивать... А только, Лаврентий Тарасыч, больше я тебе не слуга. Будет...

Это была настоящая живая картина. Центр занимал лежавший на полу Капитон, могучий мужчина с окладистой темной бородой, около него стоял Егор Иваныч, немного откинув назад свою седую голову, а против них бегал Мелкозеров — высокий плечистый мужчина с крутым лбом, огневыми темными глазами и бородкой клинышком. Все они были одеты по-домашнему, в раскольничьи полу-

кафтанья, в русские рубахи-косоворотки и в смазные сапоги.

— Сорок лет тебе я прослужил, Лаврентий Тарасыч, а теперь пора и о себе позаботиться, — продолжал Егор Иваныч. — Всякому своя рубашка к телу ближе...

Капитон в этот момент поднялся и проговорил всего одну фразу:

— И я тоже...

Мелкозеров посмотрел на обоих и сказал всего одно слово:

— Вон!..

Вся контора замерла, ожидая, какую штуку выкинет Капитон, но он только посмотрел на дядю и отвернулся.

Егор Иваныч и Капитон вместе вышли на крыльцо. Они молча прошли двор и остановились у ворот. Капитон снял шляпу, поправил кудрявые волосы, по-раскольничьи подстриженные в скобку, и, погрозив кулаком в окно конторы, проворчал:

— Погоди, идол, я до тебя доберусь!..

Егор Иваныч взял его под руку и повел под гору, — мелкозеровский дом стоял на горе. Они молча прошли пол-улицы, а потом ста-

рик заговорил:

— Ну, Капитон, теперь мы с тобой на одном положении. Осенью по первопутку я выезжаю с партией в тайгу.

— Слышал...

— Ежели хочешь, поедем вместе.

— На густомесовские деньги?

— Уж это не твое дело. Попытаем счастья..;

Старик боялся услышать в ответ Капитоново «не хочу», но Капитон только тряхнул головой и молча протянул руку.

— Э, где наше не пропадало, Егор Иваныч!.. Будет, поработали на прелюбезного дядюшку. Ах, так бы, кажется, пополам и перекусил его!..

— Будет, утишись. Сердце-то у вас у обоих огневое, Капитон, вот ладу-то и не выходит, а со мной уживешься.

Капитона Егор Иваныч знал с детства, когда он еще состоял при строгом дяде в мальчиках, и любил его по-хорошему, как любят хорошие люди. В упрямом мальчике было много симпатичных сторон, а Егор Иваныч жалел его, как сироту. По-своему, по-стариковски, он больше всего ценил в нем хоро-

шую кровь. Вот и теперь: ни на волос не сдался, хоть на части режь. С огнем другого-то такого кремня поискать...

Впоследствии Егор Иваныч тысячу раз раскаивался вот за эту сцену.

IV

Приготовления к походу в далекую тайгу заняли все лето. Нужно было собрать партию рабочих в пятьдесят человек, заготовить всякую приисковую снасть, провиант, одежу для рабочих — одним словом, все, что могло потребоваться за зиму в безлюдной тайге. Егор Иваныч точно помолодел и работал за троих. Он поднимался с зарей и хлопотал вплоть до ночи. В виде отдыха старик время от времени уезжал из Сосногорска в Увек, чтобы повидаться с дочерью, — это была последняя старческая привязанность, которая угнетала и делала рабом. Егор Иваныч, если можно так выразиться, был просто болен своей дочерью, хотя и старался по внешнему виду не выдавать себя. Он даже казался строгим отцом и делал суровые выговоры. Одна только честная мать Анфуса знала, как безумно любил старик свою ненаглядную Аннушку, — от нее

у него не было тайн. Боже сохрани, чуть что попритчится девушке, старик сейчас же падал духом и рыдал, как ребенок, в келье Анфусы. Аннушка была его жизнью, светом, дыханием. Можно себе представить, как Егора Иваныча волновала близившаяся разлука на целую зиму. Пока он старался не думать об этом, как мы стараемся не думать о смерти.

Недели за две до отъезда, после Покрова, Егор Иваныч приехал в скит вместе с Капитоном. Последний, хотя и был старовером, но в скиту на Увеке не бывал ни разу. От Сосногорска до озера было всего каких-нибудь двадцать верст, но Капитону все как-то не выпадала дорога именно в эту сторону. Егор Иваныч привез своего помощника с той целью, чтобы он сам переговорил со слепым Густомесовым. Все же оно лучше, а то, храни бог, помрешь в тайге и замениться будет некем. И для Густомесова надежнее: Капитон не чужой человек.

Осенняя непролазная грязь была уже скована морозом, и небольшая дорожная повозка Егора Иваныча бойко подкатила к скиту.

— Ты смотри, Капитон, не скажи чего лиш-

него, — предупреждал старик, вылезая из экипажа. — Уговор на берегу[313]... Место-то здесь тихое, не мирское. Напугаешь еще монашин... Ведь ты у меня, Христос с тобой, с норовом!

Капитон ничего не ответил, а только улыбнулся в бороду.

В скиту Егор Иваныч давно был своим человеком и привел гостя прямо в густомесовский флигелек. По обыкновению двери отворила им сама Агния Ефимовна. Она даже отшатнулась, когда увидела перед собой рослого красавца-мужчину, в упор глядевшего на нее своими сердитыми глазами.

— Што. испугалась, Агния Ефимовна? — пошутил Егор Иваныч. — Ничего, хорош зверь, ежели к рукам.

— Пусть молодые боятся, а я уж стара стала, — ответила Агкия Ефимовна, оправившись. — Милости просим, дорогие гости...

Капитона поразили больше всего ярко-красные губы скитской затворницы, совсем уж не подходившие к ее полумонашескому костюму, смиренному взгляду к матовому цвету прежде времени отцветавшего

лица. Когда Капитон входил в дверь и нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Агния Ефимовна невольно улыбнулась: какой он большой, да здоровый, да красивый. Ее точно огнем опалило... Бывают такие мимолетные встречи, которые оставляют в душе неизгладимый след и служат какой-то роковой гранью, разделяющей жизнь на разные полосы. Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь западает в память и выступает с яркой силой при каждом удобном случае. Впоследствии, когда Агния Ефимовна думала о Капитоне, она не могла представить его себе иначе, как именно входящим, нагнувшись, в дверь их скитской горницы.

— Вот ты какой, Капитон! — удивился Яков Трофимыч, ощупывая гостя без церемоний. — Из всего дерева выкроен... А дяде так и отрезал тогда: «Не хочу!» Ну, молодец... С Лаврентием-то Тарасычем мы прежде хлеб-соль водили, а теперь он и забыл про меня. Все забыли... да... Характерный человек Лаврентий Тарасыч!.. А ты ему: «Не хочу!» Ха-ха!..

Капитон почувствовал себя в этой маленькой горнице как-то особенно жутко. Ему точ-

но было совестно и за свой рост и за свое богатырское здоровье, а тут еще этот смех лысого слепца. Больше всего смущало Капитона то, что все время он чувствовал на себе пристальный взгляд Агнии Ефимовны, которая точно впилась в него своими зеленоватыми, как у кошки, глазами. Его так и тянуло самому рассмотреть ее хорошенько, да было совестно Егора Иваныча. В горнице она показалась ему совсем другой, чем в сенях, точно она помолодела, переступив порог. Он плохо помнил, о чем шел деловой разговор, охваченный каким-то смутным беспокойством. Да, это была тревога, вроде того, когда глухой ночью раздается неожиданный стук в дверь. Егор Иваныч заметил произведенное хозяйкой впечатление и несколько раз посмотрел на богатыря строгими глазами. Не замечал, конечно, ничего только Яков Трофимыч, который чувствовал себя как-то особенно весело и пересыпал серьезный разговор шуточками и прибаутками.

— Полюбился ты мне, Капитон! — повторял он. — Жаль в Сибирь тебя отпускать...

— Даст бог, еще вернемся... — как-то глухо

ответил Капитон, глядя в угол, — Не на смерть прощаемся.

Егор Иваныч как-то разом оборвал разговор и начал прощаться. Агния Ефимовна проводила их в сени. Она не проронила в течение разговора ни одного слова и простилась молча. Когда Капитон шел по скитскому двору, он чувствовал как-то всей своей спиной, что Агния Ефимовна смотрит на него. Подходя к игуменской келье, он не вытерпел и оглянулся: она действительно стояла в дверях, прислонившись к косяку головой, точно оглушенная.

«Этакая змея подколодная!.. — думал Егор Иваныч, поднимаясь по игуменской лестнице на крылечко. — Съесть готова глазищами. Вон как замутила Капитона-то...»

Честная мать Анфуса что-то разнемоглась и приняла гостей, лежа на лавочке. Около нее сидела Аннушка. Когда Капитон вошел в игуменьину келью, он почти никого и ничего не видел. Да и какое было ему дело до кого-нибудь...

— Што вы больно долго собираетесь-то? — тихим голосом спрашивала мать Анфуса, —

Долгие-то сборы не всегда к добру...

— Да уж такое дело, мать Анфуса, што скоро его не повернешь, — объяснял Егор Иваныч. — Не шутки шутить едем. Вот снежок Еыпадет, тогда мы и укатим по первопутку. Так и партия снаряжена... Всего-то, может, недельки с две и жить здесь осталось.

Последняя фраза произвела на девушку неожиданное действие. Она припала к отцу своей головкой и горько заплакала.

— Ты это о чем, глупая? — упавшим голосом спрашивал Егор Иваныч, гладя русую головку. — К весне вернемся... Ну, о чем?

— Так, тятя...

Этот прилив дочерней нежности сразу вышиб Егора Иваныча из делового настроения, и он умоляющими глазами посмотрел на мать Анфусу.

— Аннушка, ступай к себе! — строго проговорила старуха. — Нечего тебе здесь делать...

Девушка горячо обняла отца и с глухими рыданиями выбежала из комнаты. Егор Иваныч поднялся, сделал несколько шагов и, пошатываясь, остановился у окна. По его лицу градом катились слезы. Капитон все время

сидел, опустив голову, и разглядел Аннушку только тогда, когда пробежала мимо него. Пред ним мелькнуло это заплаканное девичье лицо, как чудный молодой сон. Теперь Капитон смотрел с удивлением на всхлипывавшего Егора Иваныча и ничего не мог понять.

— Будет тебе блажить, Егор Иваныч! — ворчала мать Анфуса. — Слава богу, не маленький... И девку разжалобил и сам нюни распустил!

В комнате наступила неловкая пауза. Слышно было только, как вздыхал Егор Иваныч, сдерживая душившие его рыдания.

— Ведь одна она у меня... — шептал он, не поворачиваясь от окна. — Как синь порох в глазу... Еще кто знает, приведет бог свидеться либо нет... Все под богом ходим. Ну, Капитон, едем домой!

Всю дорогу Капитон молчал и только изредка встряхивал головой, точно хотел выгнать какую-то неотвязную мысль. Уже подъезжая к городу, он проговорил:

— А ведь я не знал, што у тебя есть дочь, Егор Иваныч!

— А для чего бы я жить-то стал? Для нее и

в тайгу еду... Может, бог и пошлет ей счастье...

После некоторой паузы Капитон заметил:

— А зачем квасишь девку в скиту?

Егор Иваныч посмотрел на Капитона и, к удивлению, заметил на его лице то упрямое выражение, когда он говорил «не хочу». Мудреный был человек Капитон.

V

Первый снежок послужил сигналом к отъезду. Егор Иваныч в последний раз приехал в скит на Увеке. Прощание с Аннушкой было самое трогательное. Старик уже не стыдился собственных слез.

— Смотри, Анна, ежели я помру в тайге, вот тебе вторая мать — повторил Егор Иваныч несколько раз, указывая на честную мать Анфусу. — Слушайся ее, как меня... Она худу не научит.

— Тятенька, я тогда пострижение приму... — отвечала Аннушка, заливаясь слезами. — Нечего мне в мире делать!

Потом девушка была выслана, и старики занялись серьезным разговором.

— Рассчитал тебя Лаврентий Тарасыч? —

спрашивала старуха.

— Как же, рассчитал... Прислал сто рублей.

— Это за сорок-то лет службы? Ведь ты без жалованья у него служил...

— И за это спасибо. Ну, да бег с ним... Вот Капитону прислал целых три тысячи, чтобы, значит, чувствовал. Такой уж особенный человек...

— Уж через число особенный-то...

Честная мать была как-то особенно задумчива и после деловых разговоров сообщила томившую ее заботу:

— Пали из Москвы слухи, Егор Иваныч, што позорят нашу обитель никонианы. Строгости везде пошли. Головушка с плеч — вот какая забота прикачнулась.

— Никто, как бог, честная мать...

Когда Егор Иваныч зашел проститься к Густомесову, Агния Ефимовна встретила его с опухшими от слез глазами.

— О чем это ты разгоревалась так, матушка? — удивился Егор Иваныч, здороваясь.

— А уж мое дело!.. Тебя просить не буду, штоб пожалел! — отрезала Агния Ефимовна. — Ступай к слепому черту.

Сам Густомесов тоже держал себя как-то странно и все говорил о Капитоне:

— Вот как он мне поглянулся, Егор Иваныч, твой-то Капитон. Помру, пусть Агнюшка замуж за него идет... Деньги-то ведь все я ей оставлю. Пусть повеселятся да меня вспоминают... Хе-хе! У молодых-то мысли в голове, как лягушки сивчут.

— Не ладно ты говоришь, Яков Трофимыч... Только напрасно Агнию Ефимовну обижаешь.

— Я? Обижаю?.. Да ведь она меня любит, моя голубушка, а любя, все терпят. Она меня любит, Агнюшка, а я Капитона люблю. Хе-хе!..

Егор Иваныч с тяжелым чувством оставил густомесовский флигелек. Нехорошие слова говорил Яков Трофимыч и совсем не к лицу. Провожая его, Агния Ефимовна шепнула:

— Скажи поклонник Капитону Титычу... скажи, что буду богу за него молиться.

— Ах, Агния Ефимовна, Агния Ефимовна! Себя-то пожалей, а об Капитоне позабудь: ветер в поле, то и Капитон для тебя.

Агния Ефимовна только улыбнулась сквозь слезы. Тоже выискался советчик: себя

пожалей...

Долго простояла Агния Ефимовна в дверях сеней, похолодела вся, а уходить не хотела. Вот и Егор Иваныч скрылся давно, и снежок падает, мягкий такой да белый, а она все стояла, стояла и стыла от щемившей ее тоски. Господи, хоть бы умереть!.. Ведь другие умирают же, а она должна жить. Закроет глаза Агния Ефимовна и видит Капитона, руками к нему тянется, какие-то ласковые слова говорит... И сердце обмирает, и голова кружится, и страшно делается... А там, из горницы, доносится старческое ворчание: «Агнюша, где ты? Агнюша!..» Агния Ефимовна знала вперед, что теперь начнутся умоляющие ноты, потом слезливые, потом угрожающие: «Агнюша, голубушка, маточка... ах, Агнюша!»

Она вернулась в горницу вся холодная, продрогшая. Старик схватил ее за руку и сейчас же ощупал лицо.

— Ты плакала? Об нем плакала? О, змея подколодная!..

Он захрипел от бессильного гнева, а она вся дрожала, чувствуя, как эта мертвая рука опять тянется к ее лицу.

— Убить тебя мало... задушить... изрезать на мелкие части... растерзать!..

Она молчала и только закусила губы, когда старик начал ломать ее тонкую руку. Потом этот порыв ярости сменился нежностью, что еще было хуже.

— Агнюша, миленькая... голубка... Ведь ты любишь меня? Потерпи еще малсе время: скоро я помру... пожалей старика... Ну, любишь? Агшошка, маточка... слезка моя!.. Умру, все тебе оставлю! Поминай старика...

Она молчала.

Старик оттолкнул её и дико захохотал.

— Прочь от меня, дьявол!.. Ха-ха!.. Ты о нем думаешь, о Капитоне... Вся ты одна ложь и скверна! И думай, а Капитон на другой женится! Другую будет ласкать-миловать. Ха-ха!.. Завидно тебе, маточка, ох, как завидно, а ничего не поделаешь! Здоровый он, Капитон-то, молодой, кровь с молоком, глаза, как у ясного сокола, и все другой достанется... Другая-то и будет заглядывать в соколиные глаза, другая будет разглаживать русые кудри... Другая порадуется за тебя, Агнюшка, а ты вот со мной горе горевать будешь!

Ответом были глухие рыдания.

— Агнюша, где ты?.. Агнюша, подойди ко мне... Агнюша, не убивайся; скоро я помру, маточка!

Слепой поднялся и, протянув руки вперед, пошел на глухие всхлипывания. И вот опять тянутся к ней эти холодные руки, опять они ощупывают ее лицо, а она сидит и не может шевельнуться. Яков Трофимыч присел на лавку рядом с ней, обнял и припал своей лысой головой к ее груди. Эти ласки были тяжелее вечной брани, покоров и ворчания. Она вырвалась. Сейчас ее сквернили эти руки.

— Нет, не надо... Убей меня лучше! — глухо шептала она. Ничего я не знаю... ничего мне не нужно... Тошно, тошно, тошно!..

— Агнюша, маточка...

— Не подходи ко мне! Я... я... я ненавижу тебя... я сама тебя убью... отравлю... изведу...

— Агнюшка! Миленькая!..

И эта пытка продолжалась целых десять лет, бесконечных десять лет!..

Густомесов выбился в люди из приказчиков одного богатого сальника. Молва гласила, что он ограбил хозяина, когда тот умирал в

степи. Это было началом. А затем Густомесов развернулся уже самостоятельно. Он повел широкое дело со степью, скупая сало, кожи и целые гурты курдючных баранов. Неправедные денежки вернулись сторицей, и Густомесов уже немолодым задумал жениться. Для этой цели он нарочно отправился в поволожские скиты и там высмотрел себе сиротку-девушку, тоненькую, бледненькую, но писаную красавицу. Ей едва минуло шестнадцать, а ему было уже за тридцать. Вывезя молодую жену на Урал и поселившись с ней в Сосногорске, Густомесов от сального дела оставил один салотопный завод, а поездки в степь бросил. У него был уже свой кругленький капитал, и он пустил его в оборот другим путем. В описываемое нами время в Сосногорске не было ни банков, ни ссудных касс, и Густомесов начал давать деньги «под проценты». Нуждающихся всегда довольно, особенно в торговом мире, и эта операция дала Густомесову гораздо больше, чем даже темное дело со степью, когда он покупал сало и баранов на фальшивые ассигнации. В каких-нибудь пять лет капитал утроился, но именно в этот мо-

мент он ослеп и должен был по возможности ликвидировать все дела и жить на проценты. Последнее было не трудно сделать, но несчастье заставило изменить весь образ жизни, и Густомесов переехал с молодой женой в скиты на Увеке.

Всегда подозрительный, здесь он превратился в деспота. Проведя всю молодость в поволожских скитах, Агния Ефимовна опять очутилась за монастырской стеной, но на этот раз со слепым мужем. Она отлично понимала, что это скитское сидение было устроено специально только для нее, чтобы предохранить от какого-нибудь вольного или невольного бабьего греха. И она томилась в скитской неволе год за годом, не видя впереди ничего, кроме того же черничества. До известной степени ее спасала только полученная у раскольничьих мастериц строгая выдержка и привычка покоряться. Но и у этой заживо погребенной за скитской стеной женщины по временам являлась смутная и тяжелая тоска по неиспытанной воле, какой-то большой призрак неосуществимой надежды... Ведь вот тут, сейчас за скитской калиткой уже начина-

лась жизнь; живые люди любили и ненавидели, радовались и плакали; для них была и весна, и лето, и зеленая мурава, и все то, чем вольная жизнь красна.

VI

С отъездом Егора Иваныча и Капитона Титыча в Сибирь в скиту на Увеке потянулись особенно скучные дни. Вообще скитская жизнь не отличалась весельем, а тут уж совсем было тошно. Агния Ефимовна ходила как в воду опущенная. Она теперь придумала новую манеру держать себя с мужем: сядет куда-нибудь в уголок и молчит хоть докуда.

— Агния!.. — взывал слепой, протягивая руки. — Агнюшка... ангелочек...

Единственным ответом служила гробовая тишина. Слепой начинал волноваться и напрасно старался сдерживать себя. Он вставал и начинал обшаривать свою келью, как тень. Агния Ефимовна не шевелилась и только следила за своим мучителем полными ненависти глазами. Она не шевелилась и тогда, когда эти холодные, дрожавшие руки находили ее, схватывали за плечи и тянули к себе.

— Агнюшка, касаточка, отзовись... Вымол-

ви словечушко!

Молчание.

Яков Трофимыч вдруг закипал бешенством и накидывался на жену, как зверь. Она чувствовала, как эти холодные руки вливались в ее шею и начинали ее душить. Раза два она вырывалась из этих рук вся растерзанная и прибегала к матери Анфусе в самом ужасном виде: волосы распущены, платье разорвано, на шее следы душивших пальцев.

— Милушка, полно вам грешить... — уговаривала честная игуменья, качая седой головой, — Статошное ли это дело, штобы в обители такое мирское смятение?

— Ох, тошнехонько, матушка! — плакалась Агния. — Не пойду я к своему мучителю — и все тут. В обители ведь мы живем, а он неподобного требует. Как-то цельную ночь в сенках простояла, а он цельную ночь искал меня... Видеть его не могу, матушка. Вот как тошно... В пору руки на себя наложить.

— Ах, милушка, какие ты слова говоришь!.. — журила игуменья. — Бог терпеть велел, а ты вот што говоришь-то...

— Было бы для кого терпеть, матушка. Из-

вел он меня, всю душеньку вынул...

Густомесов был для обители находкой, как милостивец и кормилец, и, кроме того, он обещал после смерти оставить скиту половину своего состояния; поэтому честная мать Анфуса употребляла все усилия, чтобы уговорить Агнию и вообще помирить мужа с женой. Было старухе своих скитских дел по горло, а тут еще приходилось идти к Якову Трофимычу и уговаривать его.

— Вот што, милостивец, — говорила игуменья Густомесову, — оставь ты Агнию, не тревожь... Газдоры-то ваши всю обитель смущают. Неподобного требуешь... Забыл, что в обители живешь.

— Задушу я ее, змею! — кричал слепой муж. — Своими руками задушу и отвечать никому не буду...

— Перестань грешить, Яков Трофимыч...

— Я знаю, о ком она думает... Молчит, а сама все о нем думает, о Капитошке. Я-то ведь знаю, все знаю... Извела она меня своим молчанием.

— А ты стерпи... Успокоится баба, — ну, и пойдет все по-старому. Тебя и то бог убил, а

ты мирские мысли все думаешь. Будет, погрешил, когда на миру жил... И мне не подобает слушать твои пакостные речи, не для этого обитель ставилась.

Эти строгие внушения сразу смиряли бушевавшего слепца. Он садился к столу, закрывал лицо руками и начинал плакать.

— Грехи надо замаливать, а не о жене думать, — наставительно говорила игуменья.

— Ох, знаю, честная мать... Без тебя знаю!.. Только вот силы не хватает на смирение... Чувствую я, што она тут, Агния, ну и того... Красивая она, молодая, а я грешный человек...

— Тьфу!.. Слушать-то тебя муторно... Ужо вот на поклоны поставлю, тогда узнаешь, как такие слоза говорить. Какой на мне чин-то, греховодник?

— Да ведь жена она мне, значит, вся моя, и греха тут нет...

— Тогда выезжай из обители... Все тут разговоры с тобой.

Честная мать знала, что Яков Трофимыч не выедет из скита, — где он найдет такой крепкий досмотр за женой? — и пускала это

средство, как самое решительное. Затем ей опять приходилось уговаривать Агнию и вести ее к мужу.

— Ты у меня смотри... — грозила смиренному слепцу старуха. — Чуть што, так я и лестовкой[314] тебя поначалю. Найдем управу... Агния, а ты слушайся мужа. Что бог дал, тем и владай...

Агния молчала, зная, что все пойдет по-старому. Сначала муж будет приставать с жалобными словами, а потом рассвирепеет. Она предпочитала последнее: пусть лучше убьет разом.

Какие ужасные ночи она проводила в своем заточении... и все думала о нем, о Капитоне Титыче. Пробовала отмаливать это наваждение, но и молитва не спасала — не было в ней настоящей молитвы. «Приворожил он меня, присушил», — с тоской думала Агния и приходила в ужас от собственного бессилия. Ничего не могла она с собою сделать и опять начинала думать о сердитых и ласковых глазах Капитона Титыча.

Только и было отдыху Агнии Ефимовне, когда слепой муж укладывался после обеда

спать. Хоть один час покойно проспит... К этому времени обыкновенно приходила Аннушка — она тоже едва урывалась от своей скитской работы. Присядут молодые женщины куда-нибудь на крылечко и разговаривают свои разговоры. Стояло уже лето, дни были жаркие — так и томит жаром.

— Купаться просилась у матери, — жаловалась Аннушка, — озеро-то тут и есть, только под гору сбежать... Не пустила. Говорит, угодники-то по пятидесяти годов не обнажали себя, а ты выдумала, озорница, плоть свою тешить.

— Им все нельзя, старухам... — вздыхала Агния, — Чужой век изживают. Я-то привязана к мужу, как цепной пес, а ты-то с чего изводишься в скиту? Кабы я была на твоем месте, так...

— А тятенька?..

Агния только улыбалась. Что такое тятенька? Он тоже старик, а молодым когда был, так по-молодому и думал. Девица — вольный человек, пока не запоручила свою голову.

Они вместе гуляли по скитскому двору, когда надоедало торчать на крылечке. Люби-

мым местом Агнии была «стенка».

— Аннушка, пойдем на «стенку»?

— А игуменья увидит? Да и Яков Трофимыч тебя хватится...

— Пусть хватается, постылый... Час — да мой!

«Стенка» была у самых ворот. Скитские сестры, прежде чем отворить крышку, выглядывали сверху из-за тына, причем подставлялась деревянная лесенка. Из-за тына можно было видеть и озеро Увек и громадное селение. Сестра-вратарь обыкновенно не пускала на «стенку» и сердилась, но Агния умела ее уластить. Аннушка только дивилась, откуда у Агнии такие слова берутся.

— Ох, снимете вы с меня голову, — ворчала старуха-вратарь. — Ужо, того гляди, проснется честная мать...

— Мы только чуточку поглядим, — говорила Агния. — Ведь мы не скитские сестры, а мирские... Нечего с нас взять.

Агния и Аннушка вместе взбирались на лесенку и любовались «миром». Боже, как там хорошо!.. И сколько там вольного народа живет! И всем-то весело, всем хорошо! Блед-

ное лицо Агнии покрывалось тонким румянцем, и Аннушка каждый раз любовалась ею: писаная красавица эта Агнюшка!

Вот взять соскочить с тыну — только и видели... — говорила Агния, заглядывая через тын. — И ушла бы, кабы не своя неволя... Ты думаешь, меня Яков Трофимыч связал?..

У Агнии глаза начинали блестеть, грудь поднималась высоко— вся она была огонь и движение. Странно, что Аннушка каждый раз чувствовала себя как-то неприятно и точно начинала ее бояться. Что было на уме у Агнии? Чему она смеется? Агния в эти минуты действительно ненавидела Аннушку, глухо и нехорошо ненавидела. Ей даже хотелось столкнуть ее с тына. Раз Агния, глядя на Увек, проговорила задумчиво:

— Знаешь, Аннушка, я тебе расскажу твою судьбу...

— Не надо, Агния. Я не люблю... Это грешно... судьбу угадывать.

— А я все-таки скажу... Я все знаю, что будет. Ты вот сидишь в скиту, как птица в клетке, а суженый-ряженый ходит ветром в поле. Далеко залетел ясный сокол, а думки-то все в

скиту. Сколько ни побродит он по горам да по болотам, а сюда вернется, и сейчас к красной девице. Я сон такой видела... Богатство они найдут... много золота... Уехали бедные, приедут богатые. Не чует души в своей дочери Егор Иваныч, а ничего не поделаешь: придется расстаться.

— Будет, Агния... — умоляла Аннушка. — Нехорошо.

— Нет, ты слушай сон-то... Вернется ясный сокол, разобьет клетку и увезет птичку на вольную волюшку... Миловать ее будет, целовать, обнимать...

Говоря последние слова, Агния все больше и больше наклонялась к Аннушке, к самому лицу, так что та чувствовала ее горячее дыхание. А какие были глаза у Агнии в эту минуту — так и смотрят прямо в душу! Аннушка вся дрожала, не смея шевельнуться.

— И она его тоже ждет... — уже шепотом говорила Агния, — Лестно такого сокола приголубить. Другие-то бабы завидовать будут... И у ней свои слова найдутся. Сейчас-то ничего не понимает, а тогда вся заговорит... А дальше...

Агния откинулась, точно проснулась от тяжелого сна. Лицо было такое бледное, глаза потемнели, на губах судорожная улыбка... Аннушка замерла от страха.

— Агния, будет...

— Х-ха, испугалась, смиренница!.. Хочешь, я вот сейчас со стены прыгну?.. Не бойся, никуда не прыгну...

В свою келью Агния возвращалась, точно пьяная, и даже шаталась на ходу. Аннушке сделалось жаль ее.

— Зачем ты так себя расстраиваешь, Агния?

Агния посмотрела на нее безумными глазами и захохотала.

— Уходи от меня, — шептала она. — Ты ничего не должна знать, что будет дальше... Уходи!

VII

Целый год об Егоре Иваныче не было ни слуху, ни духу, — точно все в воду канули. Раз только была засылка к матери Анфусе от честного старца Мисаила через прохожего странного человека, пробиравшегося по раскольничьим делам в мать-Расею.

— Наказал больно тебе кланяться, мать Анфуса, — повторял странник в десятый раз.

— Ну, еще-то што?..

— А еще наказывал, штобы вы не беспокоились и што все идет правильно.

— Да ты говори толком: где Егор-то Иваныч? Он у нас ни в живых ни в мертвых...

— Вся партия в тайгу ушла еще с зимы; ну, а летом оттуда ходу нет ни конному, ни пешему. Не близкое место: сотен на шесть верст от ближнего жилья. Тунгусишки сказывали, што будто видели партию и соследили ее по зарубкам в лесу...

Так и было неизвестно ничего, пока на У век в скит не приехал сам Лаврентий Тарасыч Мелкозеров. Гордый был человек и редко посещал обитель, а тут приехал и прямо к игуменье.

— Каково, честная мать, поживаешь?..

— Живем, Лаврентий Тарасыч, пока бог грехам терпит...

Стара была мать Анфуса, а все-таки догадалась, что неспроста наехал толстосум. Поговорит-поговорит и замолчит, точно ждет чего. Так и не могли разговориться по-настоящему.

Уходя, Мелкозеров спохватился:

— Мать честная, у тебя живет Яков-то Трофимыч?

— Ох, у меня, милостивец...

— Давно я собираюсь его проведать, да все некогда... А прежде-то дружками были. Ну, как он у тебя?

— Да все так же... Ты бы зашел к нему, Лаврентий Тарасыч. Убогого человека навестить подобает...

— Некогда мне, честная мать. Дела у меня: помереть некогда. Вот до тебя еле удосужился...

— А ты послушай старуху, не погордись, сходи...

Мелкозеров поломался для прилику, а потом согласился.

— Уж только для тебя, честная мать, а то и дыхануть некогда.

Хитер был Лаврентий Тарасыч, а перехитрить честную мать не сумел. Поняла она, зачем он приехал: дошли какие-нибудь слухи из тайги, — не иначе. То-то Яков Трофимыч вдруг понадобился Провожать старика игуменья послала Аннушку и шепнула, чтобы та

осталась на всякий случай у Агнии и послушала, о чем будут толковать старики.

Со слепцом Мелкозеров повел ту же политику и долго ходил кругом да около, а уж потом проговорил:

— Плакали твои-то денежки, Яков Трофимыч... — Какие денежки?

— А которые отправил в тайгу закапывать. Егор-то Иваныч на старости лет немного из ума выступил, а Капитошка и всегда прямым дураком был... Не положил, видно, не ищи. Жаль мне тебя, ну и завернул... Дело-то твое такое, што обошли они тебя кругом.

— Ты это откуда вызнал-то про тайгу?

— А верный человек навернулся и все порассказал, как и што. И деньги закопали и сами не знают, как живыми выворотиться. Такое дело выходит, Яков Трофимыч, и весьма я пожалел твою слепоту. Тридцать тысяч выдал им?

— Ох, тридцать, родимый мой!.. Ох, зарезали, Лаврентий Тарасыч!.. Что же я-то теперь буду делать? Головушку с плеч сняли...

— Попытался на легкое богатство, вот и казнись. Жалеючи говорю...

— Да ведь я-то не дал бы, кабы не жена. Она меня обошла...

— А не живи вперед бабьим умом!.. Меня бы спросил... Уж так мне тебя жаль, Яков Трофимыч, потому, где тебе, слепому, взять такие деньги...

Дальше старики заговорили шепотом. Агния слышала первую половину разговора и стрелой понеслась к матери Анфусе. Сама она не посмела вмешаться в дело: не маленький был человек Лаврентий Тарасыч, и перечить ему было страшно, да и характером крут.

— Ох, матушка, што-то не ладно они разговаривают, — жаловалась Агния игуменье. — Кругом пальца обернет Лаврентий-то Тарасыч моего слепыша... Неспроста приехал. Пошла бы ты к ним, помешала...

— И то пойду, Агнюшка. Я уже сама догадалась, что неспроста дела приехал Лаврентий-то Тарасыч и мелким бесом передо мной рассыпался...

Пока честная мать одевалась да собиралась, Мелкозерова к след простыл. Когда мать Анфуса прошла в густомесовскпй флигелек, Яков Трофимыч сидел и на ощупь считал ка-

кие-то деньги. Заслышав шаги, он спрятал целую пачку за спину.

— Денег бог послал? — спросила мать Анфуса.

— Доброго человека послал бог, а не деньги. Обманули вы меня все: и твой старец Мисаил, и Егор Иваныч, и милая женушка. Вот один Лаврентий Тарасыч пожалел... Говорит: давай грех пополам. Вот он какой... Я-то, говорит, наживу, потому зрячий, а тебе где взять, слепому.

— За што же он тебе столько денег дал?

— А пожалел... Ему плевать пятнадцать-то тысяч. На, говорит, поправляйся, а буде что будет, — барыши пополам. Какие там барыши, когда цельный год ни слуху, ни духу...

— Надул он тебя, Лаврентий-то Тарасыч! — вступилась Агния. — Станет он тебе даром деньги давать...

— Молчать! — закричал Яков Трофимыч. — Не твоего бабьего ума дело... Все вы меня обманываете...

— Да ты никак рехнулся! — обиделась мать Анфуса. — Какие слова-то говоришь?

— А вот такие... Будет вам меня за нос во-

дить. Это все милая женушка устроила для милого дружка Капитона Титыча. Ему на голодные-то зубы как раз мои деньги пригодились. Лаврентий-то Тарасыч прямо говорит: «За Капитошкино озорство тебе плачу, потому, как ни на есть, а племянником меня бог наказал. С Егором Иванычем сам считайся, а за Капитошку я все помирю».

— Обошел он тебя кругом, и разговаривать я с тобой не хочу, — окончательно рассердилась мать Анфуса и ушла, хлопнув дверью.

— Не поглянулось... а? Ха-ха... — смеялся слепец, вытаскивая деньги из-за спины. — Сладок вам Капитошка пришелся... А с тобой, змея, у меня свой разговор будет. Подойди-ка сюды, жар-птица...

— Не подойду! Лучше в озеро брошусь... А ты дурак!.. Я тебя и знать больше не хочу...

— Молчать! — заревел слепой, трясясь от бешенства. — Убить тебя мало... На мои деньги хотели разлакомиться, да не выгорело... А Егор-то Иваныч на старости лет каким себя дураком оказал?.. И его вы обошли.

Целый день во флигельке стоял содом, а потом Агния вырвалась и убежала к матери

Анфусе, но ее туда не пустили: там сидели Рябинины и Огибеиины, приехавшие тоже проведать Густомесова. Они столкнулись случайно и смотрели друг на друга волками, так что насмешили мать Анфусу...

— Экая жалость на вас сегодня напала... — говорила Анфуса. — Ума не приложу. Даве утром пригонял Лаврентий Тарасыч и наперед вас пожалел Якова Трофимыча. Опоздали вы, видно, маленько... Да и меня напрасно морочите. Говорите уж прямо, с чем приехали...

Долго отнекивались сосногорские толстосумы, а потом повинились начистоту, чтобы вывести Лаврентия Тарасыча на свежую воду. Да, Егор Иваныч нашел в тайге несметное золото и скоро будет сюда, как только реки встанут. Сказывают, что такого богатства еще и не видано и не слыхано.

Весть о найденном богатстве разнеслась перекатной волной, и в Сосногорске только и говорили, что о таежном золоте. По-прежнему не верил этим слухам один Яков Трофимыч и каждый день пересчитывал полученные с Мелкозерова деньги, ругая жену на чем свет стоит.

Егор Иваныч приехал только под рождество, вместе с Капитоном Титычем. Он приехал прямо на Увек под вечер, когда в обитель посторонних уже не пускали. Вышла сама мать Анфуса, чтобы впустить желанных гостей, и не узнала их: загорели, заветрели, похудели.

— Зайдите ко мне опнуться малым делом, — пригласила их мать Анфуса.

Степенный был человек Егор Иваныч и не сразу распоясался, да и рад был видеть дочь. Даже прослезился старик, обнимая свою ненаглядную Аннушку.

— Ну, устроил я тебе хорошее приданое, доченька, — шепнул он. — Не для себя старался и всяческую муку принимал... За ваши скитские молитвы господь счастки послал.

Мать Анфуса выставила закуску для дорогих гостей и даже сама налила им по рюмке своедельной настойки от сорока недугов.

— Не томите, отцы, говорите... — молвила она.

Капитон Титыч молчал, изредка взглядывая на Аннушку, а Егор Иваныч разгладил свою бородку и приговаривал:

— Перво-наперво скажу я тебе, мать честная, что привез я из тайги своей любезной дочери подарочек... Не век ей в девках вековать. Люб тебе, Аннушка, Капитон Титыч? Ну, да это не твоего ума дело... Девушкам и не след знать, какого жениха отец выберет. А второе дело, честная мать Анфуса, за твои молитвы сиротские напали мы под самый Успеньев день на богатимое золото, о каком еще и не слыхивали... Потом все расскажу, а сейчас пойду Якоза Трофимыча обрадую.

Появление Егора Иваныча с известием об открытом богатстве было для Якова Трофимыча ударом грома. Он даже весь затрясся и едва мог рассказать про то, как его пожалел Лаврентий Тарасыч.

— А ты ему верни деньги — и вся недолга, — советовал Егор Иваныч.

— Не могу, родной: клятву он с меня взял. Ведь без бумаги дело делалось, а на слово...

Впрочем, слепец скоро утешился, когда узнал о женихе Аннушки. Он сразу повеселел и, потирая руки, говорил:

— Вот, Агнюшка, радость-то тебе великая... Ведь ты души не чаешь в Аннушке...

VIII

Открытие сибирского золота в течение всей зимы волновало Сосногорск. Молва увеличивала с каждым днем нажитые Егором Иванычем сокровища, хотя все и знали хорошо, что он и Капитон только «в паю», а львиная часть предприятия досталась слепому Густомесову и Лаврентию Тарасычу Мелкозерову. Толпа всегда жаждет чего-нибудь необыкновенного, таинственного и сверхъестественного, а что же тут особенного, если к густомесовским и мелкозеровским деньгам прибавятся новые деньги? Другое дело — Егор Иваныч, уважаемый всеми старик, который сразу попал в миллионеры... Это — с одной стороны, а с другой — потихоньку от всех составлялись новые партии, чтобы по проторенной дорожке двинуться в тайгу. Во главе одной такой партии стояли Огибенины, во главе другой — Рябинины.

— Тайга велика, всем места хватит, — спокойно говорил Егор Иваныч, когда ему рассказывали о замыслах будущих соперников, — Только ведь все на счастливого... Если бы не Капитон у меня, так и я приехал бы с

пустыми руками. Удачлив он...

Все помыслы Егора Иваныча теперь были сосредоточены на свадьбе дочери, с которой он ужасно торопился. Да и как было не торопиться: скоро нужно было опять уезжать надолго в тайгу, и еще неизвестно, вернется домой живой или нет. Егора Иваныча начинала давить собственная старость, и он боялся, что любимая дочь Аннушка останется непристроенной. Капитона он знал с детства и знал все его недостатки, но все-таки это был хороший и добрый человек. Конечно, характер у Капитона вспыльчивый и гордый, но только не нужно его раздражать, и добрая, умная жена будет с ним счастлива. Много бессонных ночей провел в тайге Егор Иваныч, обдумывая будущее своей ненаглядной дочери Аннушки, и ничего лучше не мог придумать.

Сама Аннушка как-то плохо понимала, что делается кругом нее. Все случилось так быстро и так неожиданно. Когда девушка оставалась одна, ей делалось страшно без всякой причины. Она боялась, сама не зная чего... Просто страшно, и все тут. Ведь один раз выйти замуж, и назад ничего не воротишь. Капи-

тон ей нравился, и в то же время она боялась его. Впрочем, он так редко бывал в скиту, так что и познакомиться поближе с ним было некогда. Свадьба выходила по старинке, по родительскому наказу. Егор Иваныч замечал, что Аннушка как будто невесела, и сам начинал хмуриться. Раз он даже обратился к Агнии Ефимовне с просьбой:

— Вы ее разговорите, Аннушку... Конечно, девичье дело, всего боится, а отцу и сказать ей не подходит. Вы уж ей объясните...

— Пустяки, все пройдет, — успокаивала старика Агния Ефимовна, улыбаясь и глядя в глаза. — Сокол, а не жених...

Агния Ефимовна вообще приняла самое деятельное участие в готовившейся свадьбе, и под ее руководством справлялось все богатое приданое. Егор Иваныч развернулся и ничего не пожалел для милой дочки. О таком приданом в Сосногорске еще и не слыхивали. Часть приданого готовилась в скиту, а другая в городе. Всего по старинному счету выходило сундуков тридцать, и Аннушка приходила в ужас, что все это она должна износить. Ведь нужно было прожить лет сто для этого... По-

том ей было просто совестно: все другие девушки завидовали ей, а между тем она совсем не желала богатства. Кому это нужно? Чтобы люди говорили и завидовали богатой невесте... Аннушке казалось, что она делает что-то нехорошее и со временем должна будет дорого заплатить вот за эту чужую зависть. Вообще, ей было невесело, и она относилась совершенно хладнокровно к хлопотам Агнии Ефимовны.

Потом Аннушка все больше и больше начинала бояться Агнии Ефимовны, особенно когда она так пристально смотрела на нее своими темными глазами, смотрела и улыбалась. И чем ласковее была Агния Ефимовна, тем страшнее делалось Аннушке. Девушка краснела, опускала глаза и не знала, куда ей деваться.

— Счастливая ты, Аннушка, — певуче говорила Агния Ефимовна. — Все-то тебе завидуют... Вон какого сокола получаешь в мужья. Чужие-то бабы глаза на него проглядят...

Яков Трофимыч совсем не узнавал жены, которая сделалась вдруг ласковой, точно сразу отмякла. С своей стороны, он теперь не тра-

вил ее Капитоном и даже старался совсем не поминать про него. Раз Агния Ефимовна сама приласкалась к нему, обняла и сказала:

— Покаяться, Яков Трофимыч?

— Покайся, Агнюша...

— Очень мне нравился Капитон-то... И чем больше ты меня ругал, тем больше он мне нравился. Кажется, кожу сняла бы с себя да отдала ему...

— Ну, ну, говори, змея...

— А как он засватал Аннушку...

— Ну, ну?

— Как засватал, так и опостылел...

— Врешь!..

— Как пред богом... Ненавижу я его, Яков Трофимыч. Видеть не могу...

— Завидно?

— И не завидно, а просто ненавижу. Так обнесло меня тогда, совсем не своя была, а теперь обдумалась... Я так полагаю, что обошел он меня. Неспроста было дело...

— Неспроста, Агнюшка... Верное твое слово: неспроста. А ты бы с мужем посоветовалась... рассказала все, как сейчас... Ведь не чужой муж-то.

— И рассказала бы все, как на духу, кабы не совестно за свою слабость. А теперь я его терпеть ненавижу...

— Не врешь?

— А что мне врать: сама на себя клепать напрасно не буду.

Как ни крепился Яков Трофимыч, а поверил жене, во всем поверил. Велика сила в этой женской слабости... Заговорила, уластила Агния Ефимовна слепого мужа и сама поверила, что ненавидит Капитона. Да и, действительно, ненавидела, как умеют ненавидеть одни женщины. Что он ей, мужней жене, — ни к шубе рукав, как говорят старухи. Пусть порадуется с молодой женой, а она сама по себе. Глухая злоба так и разбирала Агнию Ефимовну, и чем тяжелее ей делалось, тем ласковее она улыбалась. Ей нравилось даже, что она такая несчастная и что должна коротать век со слепым мужем. Нравилось ей готовить приданое Аннушке, чужое счастье делало ее еще несчастнее. А, пусть радуются, пусть любят друг друга, пусть веселятся... А она назло всем будет любить свое слепое горе.

Свадьбу задержало только приданое. Егор Иваныч сильно торопил. Ему сейчас после свадьбы нужно было уезжать в тайгу. В этой свадьбе как-то все приняли участие. Густомесов подарил невесте целый сундук всякого добра, расступился и Лаврентий Тарасыч: он отписал племяннику один из своих домов. Одним словом, все помирились, и дело катилось вперед, как по маслу. Свадьбу сыграть решено было в громадном мелкозеровском доме. Пусть все видят, как Лаврентий Тарасыч любит племянника.

Свадьба Капитона была сыграна на славу. Такой еще не видали в Сосногорске. Гостей набралось сотен до двух. Лаврентий Тарасыч разошелся и, похаживая по горницам, приговаривал:

— Пей, ешь, веселись в мою голову... Ничего не жаль для дражайшего племянничка.

В числе почетных гостей первое место отведено было слепому Густомесову. Долго его уговаривали выехать из скита и кое-как уломали. Да и не поехал бы он, если бы не Агния Ефимовна, которая тоже уперлась и ни за что не хотела ехать на свадьбу. Именно это и за-

ставило Густомесова согласиться... Пусть милая женушка казнится, как мил-сердечный друг с другой пойдет под венец. У слепого всплыло желание показнить жену. Агния Ефимовна даже заплакала, когда пришлось ехать из скита. Но в гостях она сразу очувствовалась, приняла гордый вид, и все невольно ею любовались. Красива была Агния Ефимовна в старинном парчевом сарафане и в расшитой жемчугами старинной «сороке». Сидит с мужем, рядом с невестой, и так спокойно на всех поглядывает. Дрогнула Агния Ефимовна только в момент, когда отправляла невесту к венцу.

— Будь счастлива, Аннушка, — шепнула она, целуя невесту.

Аннушка посмотрела на нее и удивилась: у Агнии Ефимовны глаза были полны слез. Ей сделалось жаль несчастной женщины.

Венчали в старой раскольничьей моленной, куда Агния Ефимовна ездила провожать невесту. С молодыми она вернулась спокойная и веселая, точно сняла с души какую-то тяжесть. А дальше Агния Ефимовна и совсем развернулась. Речистая была баба, схватчи-

вая на словах, и сам Лаврентий Тарасыч похлопал ее по плечу.

— Хороша бабочка, нечего сказать: в зубах слово не завязнет.

Разошлась Агния Ефимовна на чужом пиру, расшутилась и даже в пляс пошла. Все любовались красавицей и только дивились, откуда у нее веселье берется. Капитон смотрел на Агнию Ефимовну и хмурил брови, точно припоминал какой дурной сон.

— Поцелуй жену... — приставала Агния Ефимовна к нему. — Анна Егоровна, ну-ка, как ты любишь молодого мужа?

Эти приставания сильно смущали молодую, и она не знала, куда девать глаза.

— Посмотрите, как любят мужей, — не унималась Агния Ефимовна и при всех целовала своего слепца. — Вот как и еще вот так...

Все видели, как веселилась Агния Ефимовна, и никто не знал, что делается у нее на душе.

Свадьба продолжалась целых две недели. Расходившийся Лаврентий Тарасыч вечером запирал ворота на замок и никого не выпускал, а с утра начиналась та же музыка. Все,

что было богатого в Сосногорске и в ближайших городах, беспросыпно кутило в мелкозеровских палатах целых две недели, позабыв счет дням, позабыв всякие дела и домашние работы. Пьяные гости били посуду, ломали мебель, рвали на себе платье и вообще безобразничали. Трудно сказать, до чего дошло б это дикое веселье, если бы в одно прекрасное утро не нашли одного гостя мертвым: бедняга «сгорел» от вина. Все разом кончилось, и всех гостей вымело ветром, и даже сам Лаврентий Тарасыч сбежал на заводы, оставив мертвое тело в своих палатах на произвол судьбы, то есть Егору Иванычу, которому уже от себя пришлось считаться с исправником, заседателем, полицмейстером и разной чиновной мелочью.

IX

Сейчас после свадьбы, наскоро похоронив сгоревшего от вина усёрдного гостя, Егор Иваныч уехал в тайгу. Молодые остались в городе до осени и переехали в собственный дом, где продолжалось то же веселье. На радостях Капитон закутил, и гости не выходили из дому. Свадебное веселье затянулось на все лето.

Густомесов вернулся в скит на Увек, и свой флигелек теперь показался Агнии Ефимовне живой могилой. Но она ничем не выдавала себя и по наружному виду казалась даже веселой.

— Так, Агнюшка, так... — похваливал жену Яков Трофимыч. — Чего нам с тобой печалиться? Слава богу, все есть, а там еще Егор Иваныч в тайге добудет... А много ли нам с тобой двоим надо? Умру, все на тебя запишу...

Мысль о смерти всегда вызывала неприятные разговоры. Агния Ефимовна знала это вперед и мучилась каждый раз вдвойне.

— Помру я, откажу тебе, Агнюшка, все свое добро, а ты...

— Пошел молоть! Прежде смерти никто не помирает, и меня переживешь еще десять раз.

— Нет, я чувствую, што я скоро помру, Агнюшка... Ну, пожил, ну, всего отведал — туда и дорога, а вот тебя мне, миленькая, жаль. Останешься ты одна, да еще при собственном капитале, окружат тебя бабы-шептуньи, — ну, и взыграют мои кровные денежки... Подсыплется какой ни на есть статуй, а ваша

женская часть слаба. Будете на мои денежки радоваться да надо мной, покойничком, посмеиваться. Все знаю, голубушка... А денежки проживете, он, статуй-то, и бросит тебя. И будешь ты опять голенькая, какой я тебя замуж брал: ни вперед, ни назад.

— Я в скиту останусь, Яков Трофимыч.

— Врешь!.. Не верю... Все врешь!

В последнее время у Якова Трофимыча явилась мысль о «чине ангельском». На эту тему он не раз заводил стороной разговор. Хорошо бы это было обоим постричься зараз. И жили бы вместе на Увеке: он в своей келье, а она с другими старицами.

— Ежели оставишь мне капитал, так я живо игуменьей буду, — говорила Агния Ефимовна, поддакивая мужу. — В скиту деньги-то понужнее, чем на миру...

— Отлично, Агнюшка... Все на тебя отпишу... Было бы за што мои грехи отмаливать... Ох, много грехов!.. Слаб человек, а враг силен...

Раздумавшись об ангельском чине, Агния Ефимовна и сама пришла к заключению, что это единственный выход из ее положения. А

там можно и снять с себя монашескую рясу... Только бы от постылого мужа избавиться, чтобы не видеть его и не слышать. Конечно, она могла уйти от мужа, как венчанная по раскольничьему обряду, но эта мысль не приходила к ней в голову. И куда она пойдет? Делать она ничего не умеет, работать отвыкла, а жить по чужим людям не желала, припоминая свое сиротство. А главное, выходила па богатство, столько лет терпела — и вдруг все бросить.

Все эти планы расстроились совершенно неожиданно, и еще белее неожиданно Агния Ефимовна очутилась на полной своей воле, как выпущенная из клетки птица.

Дело в том, что в описываемое нами время — начало сороковых годов — над нескверным и тихим иноческим житьем стряслась неожиданная беда: вышел строгий указ «о прекращении скитов». Слухи об этом ходили и раньше, как заросли скиты раньше, но Увек, благодаря сильным милостивцам и доброхотам, устаивал, не в пример другим обителям. А тут даже не успели опомниться, как налетела беда. Вскоре после Успеньева дня на

Увек приехал исправник и опечатал скит, а сестрам велел убираться на все четыре стороны. Огласилась тихая обитель стенаниями и воплем. Бывали беды и раньше, да сходили с рук, а тут исправник и слышать ничего не хотел, как его ни умоляли повременить хоть недельку.

— Не могу против указа идти, — отвечал исправник. — Не моя воля.

Мало этого, потребовал у стариц паспорты и пригрозил высылкой на места жительства этапным порядком, если не уберутся подобру-поздорову сами. Одним словом, вышел казус... Прежде Густомесов вызволял или Лаврентий Тарасыч, потому как имели они большую силу у разных властодержцев, а тут и они ничего не могли поделать. Очень уж скоро прискочила лихая напасть... Всех хуже приходилось Густомесову. Он совсем упал духом и решительно не знал, что ему делать и куда деваться. Агния Ефимовна тоже растерялась в первую минуту и даже не обрадовалась желанному освобождению. Ее точно пугала собственная воля.

— Умереть надо — вот что! — повторял в

отчаянии слепой старик. — Ну, куда я теперь денусь? Зрячие-то найдут себе место, а я ума не приложу...

А тут и подумать даже некогда: уходи, и конец тому делу. Горькими слезами всплакался несчастный слепец, предчувствуя самое горшее еще впереди. Положим, у него в Сосногорске был свой дом и всякое угодье, а все-таки не в пример тихому скитскому житию.

В один день весь скит опустел, точно умер. С горькими слезами и жалобными причетами оставляли сестры насиженное место. Никто не знал, куда голову приклонить... Не плакала и не жаловалась одна честная мать Анфуса: она не верила, что скит закрыт навсегда.

— Не может этого быть, — спокойно говорила она.

А вышло другое: скит на Увеке закрывался навсегда, как и другие скиты, разбросанные по Уралу там и сям.

Густомесовы переехали на время в свой дом в Сосногорске. Яков Трофимыч и слышать не хотел, чтобы оставаться здесь навсегда, и Агния Ефимовна отмалчивалась. Дом был большой, и одну половину занимали

квартиранты. Теперь пришлось квартирантам отказать и занять весь дом. Яков Трофимыч не желал, чтобы вместе жил кто-нибудь посторонний.

— Еще убьют как-нибудь, — жаловался слепой старик, — Известно, какой нынче народ. Знают, что есть у меня кое-какие деньжонки, — ну и убьют, как пить дадут.

Хлопоты по устройству в своем доме заняли все время Агнии Ефимовны, так что ей некогда было даже думать о том, что будет дальше. Каждый день был переполнен своими собственными заботами. Она была совершенно счастлива своей новой обстановкой. Яков Трофимыч тоже устраивался по-новому. Двор был превращен в настоящую крепость, и все ворота запирались тяжелыми замками, ключи от которых хранились у хозяина. Главная опасность грозила от ворот на улицу, и здесь были приняты все необходимые предосторожности. Никто не мог войти во двор без ведома хозяина, и он шнурком отворял сам калитку, разузнав предварительно, кто пришел, по какому делу. Затем, он знал в каждый момент, где жена, что она делает и что дела-

ют другие. В своем собственном доме Яков Трофимыч являлся каким-то злым духом. И все-таки Агния Ефимовна была счастлива, особенно когда вспоминала свое скитское сидение. Здесь ее время уходило по крайней мере на хозяйство по дому, на сношение с живыми людьми, как та же прислуга.

— Хорошо, Агнюшка, — радовался слепец. — Хлопочи, матушка... Везде надо свой глаз, а то все добро растащат по крохам. Вот какой народ нынче пошел...

Из посторонних бывала только одна Аннушка, или, по-теперешнему, Анна Егоровна. Яков Трофимыч очень любил ее и был рад, когда она завертывала. Молодая женщина заметно похудела и не имела вида счастливого человека, что Агния Ефимовна чувствовала каждый раз.

— Когда вы кончите пиры-то пировать? — спрашивал слепец. — Уж будет. Ты бы останавливала своего-то Капитона. На то жена...

— Как я его остановлю, Яков Трофимыч, если он меня не слушает?

— Значит, не любит, если не слушает... А ты его забери в руки, как меня забрала Аг-

нюшка... хе-хе!..

— Не умею, Яков Трофимыч...

Аннушка приезжала на своем собственном рысаке и всегда разодетая по-богатому, что ее смущало.

— Что, любит тебя муж? — спрашивала Агния Ефимовна. — Какая я глупая... Конечно, любит, нечего и спрашивать. А мой-то слепыш как ревновал меня к Капитону Титычу... Задушить хотел со злости. И теперь не пущает к вам, а уж так охота мне хоть одним глазком посмотреть, как вы там живете. Ведь есть же счастливые люди на свете...

— Всякий по-своему счастлив, Агния.

— Не прикидывайся, смиренница. Все знаю...

Агния Ефимовна, действительно, все знала, что делается у Аннушки, и рассказывала мужу. Яков Трофимыч хохотал до слез, когда жена так смешно все представляла. Он убедился, что она, действительно, возненавидела Капитона и готова устроить ему всякую пакость.

— Ах, если бы можно было его разорить! — со вздохом повторяла Агния Ефимовна. — Бу-

дет, порадовался. Надо и честь знать... Ничего бы, кажется не пожалела!

— И Аннушки не жаль?

— Чего ее жалеть-то... Все равно, Капитон ее не любит.

— Ну, это ихнее дело... Промежду мужем и женой один бог судья.

А дела Капитона шли все лучше и лучше. Из тайги шли хорошие вести. Золото лилось рекой... Егор Иваныч повел дело сильной рукой, и промыслы давали страшный дивиденд. В первый же год на долю Густомесова и Мелкозерова досталось тысяч по шестидесяти. Так, за здорово живешь, сыпались деньги. На долю Капитона доставалось меньше, но он проживал втрое больше, чем получал от Егора Иваныча. Скоро дошли слухи, что и другие, уехавшие в тайгу по следам Егора Иваныча, тоже получили свою долю, открывая новое золото. Сосногорск вообще переживал самое тревожное время, как охваченный лихорадкой человек. Наступал какой-то золотой век, причем Егор Иваныч являлся чуть не колдуном, развороживший похороненные в тайге сокровища.

Осенью Капитон уехал в Сибирь, а Анна Егоровна осталась. Теперь она начала часто бывать у Густомесовых, с которыми ее связывали общие скитские воспоминания. Она чувствовала, что Яков Трофимыч ее любит, как родную дочь, и инстинктивно льнула к этому родному огоньку.

X

Скоро для Агнии Ефимовны исчезла и последняя тень затворничества. Новые сибирские дела требовали усиленной работы, а Яков Трофимыч никому не доверял и ничего слышать не хотел о помощнике. Между тем нужно было и счета подвести, и съездить в банк, и достать какую-нибудь справку. Агния Ефимовна вдруг оказалась великим дельцом. Она быстро освоилась со всей этой деловой механикой и сделалась необходимой сотрудницей мужа. Труднее всего было Якову Трофимычу выпускать жену хлопотать по делам одну, поэтому он уговаривал Анну Егоровну выезжать вместе.

— Тебе-то я верю, Аннушка, — повторял слепец. — А женушка, того гляди, сбрендит... Знаю я ее превосходно.

Агния Ефимовна не обижалась этой опекой и везде таскала за собой Анну Егоровну. Сделавшись необходимой, она быстро вкралась в полное доверие к мужу. Теперь уже он советовался с ней, как поступить в разных затруднительных случаях.

— Ты у меня золото, Агнюшка, — говорил слепой. — Ежели бы я совсем мог довериться тебе... Знаю, все знаю, какая ты есть.

Познакомившись со всеми делами мужа, Агния Ефимовна составила довольно сложный план мести Капитону. Часто пс ночам она уже видела его разоренным, униженным, жалким и впредь торжествовала победу. Да, он будет в ее руках и будет ждать одного ее ласкового взгляда. Иногда, проверяя присылаемые Егором Иванычем приисковые счета, она очень ловко подчеркивала растраты Капитона, разнесенные по разным статьям.

— Так, так, женушка, — соглашался Яков Трофимыч. — Этак-то Капитон и совсем разорит нас... Вон он как распыхался.

— И совсем он не нужен нам, — говорила Агния Ефимовна. — Только зря деньги травим...

— Что поделаешь, Агнюшка! Вся статья в Егоре Иваныче... Для него и терпим Капитошку. А промежду прочим посмотрим...

Эти подготовительные беседы делали свое дело. Яков Трофимыч мало-помалу озлоблялся. С другой стороны, он был так доволен, что жена сама подводит ненавистного Капитона.

Оставалось обработать Лаврентия Тарасыча, и Агния Ефимовна действовала здесь с особенной осторожностью, чтобы характерный старик не догадался, по чьей дудке будет он плясать. Когда при Мелкозерове Яков Трофимыч начинал травить Капитона, она непременно вставляла какое-нибудь словечко за него.

— Молод еще Капитон Титыч. Остепенится...

Густомесов был в восторге от такой политики.

— Старик-то, старик-то в каких дураках, Агнюшка... Ха-ха!.. Ты его ловко взнуздываешь, а он-го думает, что все сам... Ловко!

— Нельзя по-другому-то... Никого не слушает Лаврентий — Тарасыч, а бабу где же послушает. Еще наоборот сделает...

— Вот, вот... Ты нахваливай ему Капитошку-то. Ох, и согрешил я с тобой, Агнюшка!..

Так прошла зима, а когда по последнему пути вернулся из тайги Капитон, все уже было готово. Он приехал вместе с Егором Иванычем и, конечно, ничего не подозревал.

— Ужо к нам приедет, так ты с ним поласковее, — учил жену Густомесов. — А я будто не слышу... Хе-хе!..

— Не учи, Яков Трофимыч.

— Ах, эти бабы! Вот разбери-ка ее, что у ней на уме... А Капитошка-то прост, всему поверит. Потеха!.. Уж ты постарайся, Агнюшка, чтобы комар носу не подточил.

Действительно, Капитон приехал к Густомесовым вместе с женой и был принят, как дорогой гость. Агния Ефимовна встретила его спокойной улыбкой. Дальше все шло, как по-писаному. Яков Трофимыч был необыкновенно весел и только ухмылялся, слушая, как жена разговаривает с Капитоном. Потом старик не выдержал и принялся отчитывать гостя. Капитон выслушал попреки молча, молча повернулся и молча пошел в переднюю, не простившись с гостеприимным хозяином. Анна

Егоровна страшно перепугалась и бросилась уговаривать Якова Трофимыча.

— Голубчик, Яков Трофимыч, что же это такое?..

— Люблю тебя, Аннушка, а Капитошку в порошок изотру...

Агния Ефимовна воспользовалась этим моментом и догнала Капитона уже в передней. Здесь она прямо бросилась к нему на шею, обняла и, глядя в глаза, шептала:

— Милый, милый... как я тебя люблю!.. И ненавижу и люблю...

Капитон от неожиданности ничего не мог выговорить. Он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как две тонких руки обвили его шею, и не мог шевельнуться.

— Агния Ефимовна... — шептал он, набирая воздуха.

— Какая я тебе Агния Ефимовна? Нет здесь Агнии Ефимовны, а есть только безумная женщина... Иу, взгляни ласково, сокол ясный!..

Она и плакала, и смеялась, и припадала к нему головой.

— Сколько я ждала... сколько мучилась...

Та разве это понимает? Девчонка она несмысленная... Ты будешь мой, мой, мой... Утоплюсь, руки на себя наложу, а будешь мой. Милый, миленький, родной!..

Этот безумный бред обжег Капитона огнем, и он даже пошатнулся на месте, как пьяный, а потом сильной рукой обнял обезумевшую женщину. Она только закрыла глаза и вся распустилась, точно подкошенная. Эта немая сиена была прервана послышавшимися шагами Анны Егоровны. Агния отскочила, посмотрела кругом безумными глазами и захохотала, как русалка.

— Это мой слепыш меня ревнует... — объяснила она Анне Егоровне. — Понимаешь? Съел он меня... А ты думаешь, взаправду он говорил про Капитона? Ничего, все уладим...

Капитон только опустил глаза и молча простился с сумасшедшей хозяйкой. Агния Ефимовна бросилась к окну и смотрела, как Капитон усаживал жену в экипаж, — она ждала, что он оглянется на окно. Но он не оглянулся... Она, когда тронулся экипаж, погрозила вслед уезжавшим кулаком и опять захохотала.

— Ловко, Агнюшка! — хвалил слепой и тоже смеялся. — Как я его ошарашил... Турманом вылетел. Носи, не потеряй... Что он тебе говорил?

— Да ничего... Трясется весь, как осиновый лист, и сказать ничего не может. Даже жаль...

— Больно сердит, а на сердитых воду возят. Жаль только Аннушку...

— Ее-то чего жалеть? У ней сейчас отец богатый...

— Отец-то отцом, а муж-то, видно, милее... Как она меня тут улещала помириться с Капитоном. Даже расплакалась... Конечно, слаба ваша женская часть...

Все это было только началом устроенной Агнией Ефимовной облавы на Капитона. Следующим номером явилась крупная размолвка с дядей Лаврентием Тарасычем, который, не говоря худого слова, прямо выгнал племянника в шею. Положение Капитона получилось критическое, и он сразу обозлился на всех и кончил тем, что уже сам разругался с Егором Иванычем и даже выгнал его из своего дома.

Последнее случилось благодаря бестактно-

сти Егора Иваныча. Старик, узнав о размолвке зятя с Густомесовым и Лаврентием Тарасычем, начал его уговаривать помириться.

— Нехорошо, Капитон... Ты помоложе, мог бы и стерпеть. Не чужие люди... Может, тебе же добра желают.

— А тебе какое дело до меня? — грубо ответил Капитон.

— Как какое? Ведь моя дочь-то... Да ты никак очумел!..

— Была твоя, а теперь моя...

— Капитон, не форси!.. Капитон, утиши свой характер...

— Да ты что ко мне пристал-то, старый черт?..

Тут уж Егор Иваныч обиделся и обругал зятя, а Капитон взял его за плечо и вывел в переднюю.

Очутившись на улице, Егор Иваныч опомнился и только тут понял, какую он глупость сделал. Не надо было трогать Капитона, когда он в сердцах, а выждать, когда утихомирится, и потом усовестить. Огневой мужик, одним словом... Дальше старик понял, что теперь все обрушится на ни в чем не повинную Ан-

нушку. И дочь жаль, и покоряться на старости лет не приходится. Капитон тоже не понесет повинную голову. Одним словом, как ни кинь — одинаково скверно. Старик даже всплакнул про себя. Очень уж горько ему показалось свое старое одиночество.

Крепился он целых три дня и наконец не вытерпел, отправился к Густомесовым и упросил Агнию Ефимовну съездить за Аннушкой.

— Да он меня еще убьет, Капитон-то, — отнекивалась она. — Право, уж я не знаю, Егор Иваныч...

— Ничего, не убьет, — уговаривал жену Густомесов. — Нас он, действительно, искрошит в крошки, а тебя не посмеет тронуть...

Агния Ефимовна еще ни разу не бывала в доме у Капитона и ехала туда в большом смущении. Тяжело переступать порог, за которым милый, хороший живет с другой. Аннушка ужасно обрадовалась гостье, она все эти дни проплакала.

— Я за тобой приехала...

— Ох, не отпустит он меня. Грозится всех убить... зверь зверем ходит.

— Ну, страшен сон, да милостив бог... Дайка я сама с ним переговорю.

Капитон встретил гостью довольно сурово, но она не смутилась, а прямо подошла к нему и заговорила:

— Ну, ударь... ну, убей!.. Ах, ты, Аника-воин!

— Зачем пришла-то?

— А как в сказке говорится: прилетела сорока-белобока и говорит: «Не кручинься, удал-добрый молодец, не печалуйся, а все будет по-нашему»...

Разговор с Капитоном продолжался довольно долго, так что Аннушке надоело ждать.

— Едва уговорила... — объяснила Агния Ефимовна, вернувшись в комнату Аннушки. — До смерти уморилась с твоим-то идолом. И меня пообещал убить в другой раз... Ну, едем.

Аннушка от души пожалела добрую приятельницу и долго целовала ее за услугу и заступу, а Агния Ефимовна закрывала глаза и отворачивала от нее лицо.

XI

Рассвирепевший Капитон сразу оборвал всякие отношения с дядей, с тестем и Густомесовым, заперся у себя в доме и кутил напропалую. Деньги у него еще оставались.

— Это я им открыл золото, а они меня в шею! — орал он пьяный. — Я им покажу... И всех зарежу. Да... А золота сколько угодно найдем.

Набрались у Капитона в доме такие лее пьяные благоприятели из чиновников и купцов, — и пошел дым коромыслом. Анна Егоровна со страху по целым дням запиралась у себя в комнате и могла только плакать. Впрочем, один раз она попробовала уговорить мужа, но он так ее оттолкнул от себя, что несчастная женщина полетела на пол.

— Отстань, постылая...

Это последнее слово было тяжелее побоев. Оно окончательно убило несчастную женщину. Постылая жена... Ведь это хуже смерти. Она припомнила, как Агния называла своего мужа постылым, и понимала, что это значит. Перед ней точно самый свет закрывался. А ведь она привыкла к мужу и начинала его любить так хорошо, как любят скромные

женщины. И вдруг ничего нет... В девятнадцать лет постылая, а что же дальше-то будет? Анна Егоровна в каком-то ужасе закрывала глаза и старалась совсем не думать об этом будущем. Вон отец уговаривает терпеть и не перечить мужу, а легко это делать?.. С другой стороны, Анна Егоровна была на стороне мужа, потому что все напрасно его обижали — и Густомесов и Лаврентий Тарасыч. Она не могла только понять, за что все так разом поднялись на него.

Тосковавший Егор Иваныч теперь частенько завертывал к Густомесовым отвести душу. Посылать Агнию Ефимовну за дочерью он стеснялся, а ждал, когда это сделает сам Яков Трофимыч.

— Вот так устроил Аннушке приданое... — сетовал старик, качая седой головой и вздыхая. — Где у меня глаза были, когда выдавал дочь замуж? Копил-копил да черта и купил... Ох, тошнехонько, Яков Трофимыч!..

— Сам виноват... Благодари бога, что жив ушел от милого зятюшки.

— Да я не о себе... Что я, мое-то все прожито, а вот как будет милая доченька жить со

своим разбойником.

— А ты пойди да прощения у него попроси, что спустил тебя с лестницы.

— Ох, не говори: голова с плеч. А она-то, безответная, у меня его же, разбойника, выправляет...

— Уж бабы завсегда так. Одна им всем цена...

Назлобствовавшись, Густомесов начинал жалеть и посылал жену за Аннушкой. Агния Ефимовна обыкновенно и слышать об этом не хотела и соглашалась только после усиленных просьб.

— Видеть его не могу... — уверяла она. — Только уж для тебя, Егор Иваныч, неприятность себе сделаю.

Егор Иваныч упрашивал ее со слезами на глазах, и Агния Ефимовна отправлялась. Анна Егоровна приезжала, как всегда, спокойная и серьезная, точно ничего особенного не случилось, и никогда не жаловалась отцу ка мужа. Но отцовское сердце чуяло, что дело неладно, и болело вдвойне. От дочери Егор Иваныч узнал, что Капитон составляет какую-то новую компанию и едет в тайгу один.

Теперь старику опостылели и эта проклятая тайга и это проклятое сибирское золото, из-за которого он загубил любимую дочь. Жила бы она тихо и мирно, вышла бы замуж за какого-нибудь скромного человека, а он, Егор Иваныч, на старости лет радовался бы. А тут вон что вышло... И не удумаешь, как быть. Если идти и покориться Капитону, — еще хуже будет, потому неукротимый у него характер.

Агния Ефимовна торжествовала молча и молча только улыбалась про себя, когда слышала разговоры о новой компании. Какой дурак даст денег Капитону... А между тем он, действительно, отправлялся в тайгу на разведки, а деньги ему дала она, Агния Ефимовна. Когда она предложила ему эти деньги, Капитон с удивлением посмотрел на нее.

— Откуда у тебя деньги-то, Агния?

— А мои собственные, милый-хороший... За что я терпела-то свою муку-мученическую столько лет? Все равно, муж помрет и откажет мне все... Своими-то деньгами всякий может распорядиться.

В первое время Капитону зазорным казалось пользоваться этими бабьими деньгами,

да еще крадеными, а потом он как-то разом на все махнул рукой. Он быстро поддался неукротимой энергии Агнии Ефимовны и только говорил:

— Убить тебя мало, Агния. Никакого в тебе страха нет.

Добывать деньги у мужа было делом нелегким, и Агния Ефимовна вела дело с дьявольской хитростью, пользуясь полным доверием мужа. На первый раз она вынула лежавшие на хранении деньги в банке. Яков Трофимыч считал свои капиталы на ощупь, и она, вместо сохранной расписки из банка, подсовывала ему простую бумагу. На первый раз она позаимствовала всего тридцать тысяч и надеялась их пополнить потом, когда Капитон найдет таежное дело. Муж все равно ничего не узнает, потому что никому, кроме нее, не доверяет. А денег осталось еще больше двухсот тысяч...

Так и пошло. Перед отъездом в тайгу Капитон проговорил:

— Ну, Агния, смела ты, а только добром все это не кончится... Быть нам с тобой на одной веревочке.

— Пустяки: двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Агния Ефимовна только улыбалась. Что такое деньги?

Только бы он, ясный сокол, посмотрел ласково, приголубил, обнял... Она была готова на все за одно ласковое слово. Жизнь в ней кипела. Капитон невольно поддавался ее обаянию и тоже готов был на все.

— А ты будешь вспоминать обо мне там, в тайге? — ластилась к нему Агния Ефимовна, — Жену вспомнишь, а меня позабудешь...

Вместо ответа Капитон только сжимал ее в своих могучих объятиях и поднимал на воздух, как перышко.

— Милый, любишь?..

— И люблю и ненавижу...

— Вот как я тебя... Не забывай. Пришли весточку. А в случае чего, за деньгами дело не встанет.

Совестно было Капитону прощаться с обманутой молодой женой, но он слишком далеко зашел — возврата не было. Он рассчитывал на одно, что отработает выкраденные у Густомесова деньги и тогда будет чист. Ведь и

деньги-то эти он же им дал, ежели разобрать правильно. Одним словом, начиналась та преступная логика, когда человек оправдывает себя во всем. Важен первый шаг, а там преступление покатится с горы комом снега.

Капитон уехал, а Егор Иваныч разнемогся и остался дома. Теперь уже могли вести таежные дела и без него, благо все было устроено, налажено и предусмотрено. Старик был счастлив, что мог запросто видаться с дочерью, которая приезжала его проведывать каждый день. Хорошая была эта Аннушка, покорливая, серьезная — вся вылитая мать. Цены бы ей не было, если бы другой муж попался. Ну, да тут говорить нечего: от своей судьбы никто не уйдет... Егор Иваныч только вздыхал.

Много хороших вечеров скоротали отец с дочерью. Теперь Егор Иваныч мог с ней говорить, как с вполне взрослым человеком, и каждый раз убеждался только в одном, какую хорошую дочь вырастил. Раз, в минуту откровенности, он проговорил:

— Ах, Аннушка, Аннушка... Загубил я тебя. Польстился на богатство, а теперь через мое-

то золото твои слезы льются.

— Ничего, тятенька, как-нибудь перетерплю... Опомнится Капитон Титыч.

— Опомнится? Горбатого-то, милушка, одна могила исправит...

Аннушка залилась слезами, спрятала свое лицо на отцовской груди и прошептала:

— Люблю я его, тятенька... К сердцу он пришелся.

— Ну, а он как? Любит?..

— Сначала-то очень любил, а теперь... я сама виновата, что не умела угодить.

— Постой, постой... г-м... Нет, тут что-то дело неладно. Да...

Здесь в первый раз у старика мелькнуло в голове подозрение на Агнию, но он смолчал и ничего не сказал дочери. Зачем ее тревожить напрасно?.. Никогда не любил старик увертливой и ловкой Агнии Ефимовны, а теперь, перебирая события последнего времени, не мог не заметить, что дело не чисто. Что-то уж весела Агния Ефимовна и на глазах у всех ластится к слепому мужу. Раньше-то не так было... Опытный старик достаточно видел на своем веку и инстинктом почуял потаенную

ложь. Да, что-то тут кроется... И Капитон неспроста переменился к жене.

«Колдунья какая-то, — думал старик. — Ну, нет, погоди, матушка... Мы еще посмотрим, чья возьмет».

Между прочим, Егор Иваныч припомнил переговоры о новой компании, которую составил Капитон. Тоже дело не чисто, потому что негде им, прохвостам, было взять денег.

Немного поправившись, Егор Иваныч отправился к Густомесову. Агнии Ефимовны как раз не случилось дома.

— В банк уехала, — объяснил слепой.

— Так, так...

— Она ведь у меня по всем статьям. Лучше меня дела все понимает...

— Так, как. Что же, дело хорошее... Да, хорошее. А ты все-таки того, Яков Трофимыч, не очень-то доверяйся. Великий соблазн идет от денег... Вот как-нибудь вечерком посчитали бы вместе твои капиталы...

— Ну, нет, спасибо. Считай у себя зубы во рту...

Слепой обиделся и по пути припомнил, как подсыпался к нему Лаврентий Тарасыч

вот с такими же жалостливыми речами, а потом взял да и объегорил в лучшем виде. И этот туда же... Нет, шалишь, хотя и пораньше родился.

Они расстались довольно холодно. Егор Иваныч тоже обиделся за недоверие. На лестнице он встретил Агнию Ефимовну.

— Здравствуй, хозяюшка... Все хлопочешь?

— Умаялась, Егор Иваныч. Дела-то большие, а бабий ум короче воробьиного носа...

Агния Ефимовна сразу поняла, с чем приходил Егор Иваныч, и только улыбнулась. Немного опоздал старичок...

XII

Важен первый шаг, а остальное приходит само собой. Устроивши первый подлог, дальше Агния Ефимовна пошла вперед уже с легким сердцем. В самом деле, не все ли равно, отвечать за тридцать тысяч или за триста? И что значат деньги, когда душа огнем горит? Агния Ефимовна окончательно завладела мужем, и он теперь верил только ей одной. Для своих целей ей нужно было заручиться таким же доверием Анны Егоровны, и она добилась этого. Дело в том, что в своих письмах к жене

Капитон Титыч постоянно напоминал, чтобы она во всем слушалась Агнии Ефимовны. Анна Егоровна была рада хотя этим угодить мужу и постоянно защищала Агнию Ефимовну перед отцом.

— Чужая душа — потемки, тятенька, а, по-моему, Агния Ефимовна — хорошая женщина. Трудно ей, бедной... С зрячим-то мужем горя не расхлебаешь, а тут изволь нянчиться с слепышом. Другая давно бы сбежала...

— Было бы куда бежать...

— Нет, ты ее не любишь, тятенька, и поэтому так говоришь.

— Ох, не люблю, Аннушка! Грешный человек, не верю ей... Вон она мужа-то как обошла. Я как-то заговорил с ним стороной про нее, так он вот как на дыбы поднялся... Съесть готов.

— Кому же и верить, как не жене?

— Глядя по тому, какая жена. А промежду прочим, не нашего ума дело: не наш воз, не наша и песенка. Чего-то вот только около тебя, Аннушка, она уж очень обихаживает... Боюсь я.

— В скиту-то вместе сидели, ну и дружим.

Натерпелась она там довольно... И не расскажешь всего... И теперь еще, как вспомнит, так и зальется слезами горькими Агния-то Ефимовна.

А Агния Ефимовна делала свое дело, не покладаючи рук. Она уже получила тайным путем от Капитона два письма. Дело у него не ладилось, и он просил все новых и новых денег. Счастье точно отступило от Капитона, когда он сошелся с Агнией Ефимовной. Все пошло через пень колоду. А тут же рядом другие все богатели не по дням, а по часам. И все получали свою часть... Лаврентий Тарасыч и Густомесов загребали деньги лопатой, а из-за их спины урвали свою долю и остальные, как Рябинины и Огибенины. В каких-нибудь два года уездный глухой городок сделался неузнаваемым, точно его залила золотая волна. Везде строились большие дома, справлялись богатые свадьбы, веселье катилось широкой рекой. Около больших людей наживалась и вся остальная мелкота. Страшное богатство хлынуло на всех, и все говорили только о таежном золоте.

Чужое веселье не давало спать только Аг-

нии Ефимовне. Она ненавидела больше всех старика Лаврентия Тарасыча, памятуя его отношения, и повела свою бабью политику. Нашелся у нее и помощник, какой-то выгнанный приказный Кульков, писавший прошения по кабакам. Разыскала его Агния Ефимовна, призрела, одела, обула и начала сама учиться приказным кляузам. Пьяница Кульков знал все и в ее умелых руках сделался кладом.

— Ах, если бы утопить Лаврентия Тарасыча! — вздыхала Агния Ефимовна, слушая деловые речи дошлого приказного человека. — Ничего бы, кажется, не пожалела... Дом тебе куплю, Кульков, ежели обмозгуешь.

— Утопить-то такого осетра трудненько, а напакостить можно в лучшем виде. Первое дело, надо его поссорить с Яковом Трофимычем...

— А как их поссоришь? Уж очень верит Яков-то Трофимыч Лаврентию Тарасычу... Старые дружки. Еще в степи фальшивые бумажки вместе ордынцам сбывали. Водой их не разольешь...

— В большом-то все умны, а мы их на ма-

леньком подцепим, благодетельница. Москва от копеечной свечки сгорела...

И научил приказная строка уму-разуму. Все счета по промыслам были на руках у Агнии Ефимовны. Кульков разыскал в них одну графу, где был показан какой-то лишний расход на шарников[315]. С этого и началось. Агния Ефимовна вперед подтравила мужа, а когда приехал Лаврентий Тарасыч, вся история и разыгралась, как по-писаному.

— Да что ты пристал ко мне с шарниками? — вспылил Мелкозеров. — Не стану я тебя обманывать...

— Да это все равно, Лаврентий Тарасыч, а денежки счет любят.

— Отвяжись, смола!.. Плевать я хочу на твоих шарников...

— Тебе плевать, а мне платить...

— Да ты за кого меня-то считаешь, Яков Трофимыч?

Тут уж вспылил Густомесов и отрезал:

— За благодетеля я тебя считаю, Лаврентий Тарасыч... Али забыл, как тогда пожалел меня и за здорово живешь получаешь теперь с промыслов любую половину. Да еще на шар-

никах нагреть хочешь...

И этот покор стерпел бы Мелкозеров — было дело, — не помяни Густомесов о шарниках. Лаврентий Тарасыч вскипел огнем, ударил кулаком по столу и заявил:

— Коли твои такие разговоры со мной, так я тебя и знать не хочу, слепого черта Да еще тебе же нос утру...

Когда на шум прибежала Агния Ефимовна и принялась уговаривать вздоривших стариков, взбесившийся Мелкозеров оборвал ее.

— А ты чего тут свой бабий хвост подвернула? Брысь под лавку...

Густомесов вскочил, затрясся и крикнул:

— Вон, Лаврушка!.. Знаю я тебя, заворуя... и сам тебе еще почище нос-то утру. Вон из моего дома...

Эта сцена послужила началом громадного процесса, тянувшегося целых двадцать лет и стоившего тяжущимся несколько миллионов. Стороны ничего не жалели, чтобы утопить друг друга, а около этого дела кормилась целая орда приказных. Кульков знал, как «отшить» «ндравного» толстосума, и заварил кашу. Агния Ефимовна торжествовала, избавив-

шись так легко от последнего человека, который мог ей быть опасным. Она сама повела процесс и настраивала мужа. Яков Трофимыч мог только дивиться, откуда она все знает, — ни дать ни взять тот же приказный.

Когда Капитон вернулся из тайги по последнему пути, все дело было уже сделано. Он приехал невеселый, ночь-ночью. Да и нечему было веселиться: целых восемьдесят тысяч закопал Капитон в тайге, а заработал из-за хлеба на воду. Зато Агния Ефимовна еще никогда не была так весела.

— Все будет по-нашему, милый, хороший!.. Отдохни лето, а осенью я тебя отпущу.

Заговорила, уластила Агния Ефимовна друга милого, и Капитон махнул на все рукой. Двум смертям не бывать, одной не миновать... Совестно было ему перед безответной женой, вот как совестно, а тут чужая жена за душу тянет. Пробовал Капитон сопротивляться, но из этого ничего не вышло.

— Ты только у меня пикни! — грозилась Агния Ефимовна. — Сейчас все на свежую воду выведу и вместе с тобой в Сибирь пойду...

— Ах, змея, змея... — удивлялся Капитон.

Подался даже Егор Иваныч, когда заварилось дело Густомесова и Мелкозерова. Агния Ефимовна сама пошла по судам и все вызнала. Старик только дивился, откуда что берется у бабы. Очень уж ловкая бабенка оказалась, такая ловкая, что и не видано было в Сосногорске. Всех обошла, везде у ней была своя рука.

— Ну, баба, — дивился старик. — Ей и книги в руки... Заперла она дух нашему Лаврентию Тарасычу. Вот как заперла....

Теперь уж Агния Ефимовна шла и ехала, куда хотела, и везде ей был почет и первое место. Широко развернулась умная баба, на все руки была ходок, только своего сердца не могла утешить. Очень уж любила она Капитона, который только не ел из ее рук.

— Не тебе бы такую бабу любить, — говорила она, ласкаясь к Капитону. — Прост ты у меня, да еще делить тебя приходится с женой...

— Ну, ты это оставь... Анна тут ни при чем.

Агния Ефимовна теперь ревновала Капитона к жене и не могла никак совладать с собой. Все-таки она его жена, — из песни слова

не выкинешь. Она следила за ними и мучилась, когда Капитон начинал жалеть жену. Агния Ефимовна возненавидела теперь несчастную женщину и поэтому была с ней особенно ласкова. Капитону делалось страшно, когда он видел их вместе. Он начинал бояться Агнии Ефимовны, как лошадь боится хорошего кучера. А она назло ставила его постоянно в такие положения, что вот-вот все раскроется и он пропадет ни за грош. Теперь Агния Ефимовна назначала ему свидания у себя в доме и целовала на глазах у мужа. Ей нужна была опасность, нужно было, чтобы Капитон боялся, нужно, чтобы постылый муж нес кару за свое недавнее тиранство...

Мало этого, Агния Ефимовна являлась к Капитону, как к себе домой, и всем распоряжалась, как настоящая хозяйка. Даже прислуга не смела ничего сделать без ее приказа. Анна Егоровна все это видела, мучилась про себя, плакала, но никому и ничего не говорила. Раз только она сказала Агнии Ефимовне:

— Побойся ты бога, Агния, если людей не стыдишься...

— Какая ты глупая, Аннушка, — засмея-

лась Агния. — Было бы за что ответ держать да бога бояться... Вон и то говорят, что я любовница твоего мужа. А кто осудил, с того и грех взыщется...

Анна Егоровна сама не знала, есть что-нибудь у Капитона с Агнией или это ей кажется. Очень уж смело держала себя Агния. С нечистой-то совестью от добрых людей бегают, а она всем в глаза смотрит. Капитон был какой-то странный, и Анна Егоровна видела только одно, что он тоже побаивается Агнии. Хорошо было уж то, что Капитон не обижал жены и с глазу на глаз обходился с ней ласково.

— Тошно мне, Аннушка, — говорил он перед отъездом в тайгу. — Только и отдыхаю на промыслах.

Капитон был рад, когда лето прошло и он мог уехать из Сосногорска в тайгу.

— Смотри, мил-сердечный друг, не забывай меня, — наказывала Агния Ефимовна на прощание.

— Ох, не забуду, Агния... Надела ты мне веревку на шею.

— Своя жена веревка-то, а чужая на утеху

молодецкую... Ах, ты, удал-добрый молодец, что крылья-то опустил?

XIII

Процесс Густомесова с Мелкозеровым точно послужил примером для других. Огибенины и Рябинины, работавшие вместе, тоже перессорились и тоже начали судиться. Спорные промысла оставались без дела, а нажитые в тайге капиталы пошли на тяжбы. В то же время коренные сибиряки не дремали и по готовым следам напали на таежное дело и, с своей стороны, подняли споры против сосногорских золотопромышленников. От Иркутска до Петербурга все суды были завалены этими делами. В тайгу посылались специальные комиссии для исследования дела на месте и только сильнее запутывали кипевшую войну.

Но самым громким процессом оставался все-таки густомесовский. Лаврентий Тарасыч рвал и метал, чтобы утереть нос противнику, и расстроил свои личные дела по заводам. Сильный был человек, но все средства были в делах, и приходилось рвать живым мясом деньги из разных статей. Вообще, выходило

очень скверно. Раза два Мелкозеров подсылал Егора Иваныча для переговоров с Густомесовым, но тот возвращался ни с чем.

— Приступу к нему нет, — объяснял старик. — В том роде, когда человек осатанеет...

— Ничего ты не умеешь сделать как следует, — сердился Лаврентий Тарасыч, топая ногой. — Сам поеду и все устрою...

— Кабы хуже не вышло, Лаврентий Тарасыч, потому как там эта самая змея... Все от нее.

— Ты меня учить?!..

Егор Иваныч только пожал плечами. Мелкозеров, действительно, отправился сам к Густомесову и этим уже сделал шаг к примирению. Ведь сколько лет дружили, хлеб-соль водили, а тут из-за каких-то шарников подняли смуту... Мелкозеров ехал с самыми миролюбивыми намерениями, которые разбились сейчас же, как только он вошел в густомесовский дом. Его встретила Агния Ефимовна и довольно дерзко спросила:

— Вам кого нужно, Лаврентий Тарасыч?

— Как кого? — вскипел старик. — Чей дом, к тому и приехал...

— Дом мой...

Мелкозеров надел шапку, молча повернулся, плюнул и вышел. Только напрасно себя срамил. Надо было слушать Егора-то Иваныча... Агния Ефимовна торжествовала свою самую большую победу, рассказывая мужу, как она встретила гордого толстосума.

— Ловко ты его обзатылила! — восторгался Яков Трофимыч. — Плюнул, говоришь? Ха-ха... Не поглянулось. Отваливай в палевом, приходи в голубом...

Это он раньше засылки делал через Егора Иваныча, а теперь сам расскочился...

— То-то озлился, бедный! Ловко... Все хвалился нос утереть мне, а тут самому утерли.

— Еще не то будет, дай срок...

— Верно, Агнюшка. Ничего не пожалею, чтобы извести его...

Эти успехи уже перестали радовать Агнию Ефимовну. Что она ни делала, а главное все-таки оставалось: слепой муж держал ее, как железная цепь, а Капитон принадлежал другой. Много передумала Агния Ефимовна, и так и этак раскидывая умом, а выходило одно. Ну, в лучшем случае, муж умрет — Аннуш-

ка останется. Аннушка умрет — муж останется. А когда оба они умрут, пожалуй, и не дождешься. Потом Агния Ефимовна заметила печальную вещь, именно, что за последние два года сильно состарилась. Пока сидела в неволе — все было хорошо, а теперь подкралась старость, как вор... И никуда не уйдешь, ничего не поделаешь. А тут еще, как назло, Анна Егоровна похорошела. Здоровая такая стала, белая, молодая, одним словом, кровь с молоком. Приедет Капитон из тайги и променяет чужую жену на свою.

Агния Ефимовна решилась на последнее средство. Она вызвала Капитона из тайги и заявила ему, что они вместе поедут хлопотать по делу с Лаврентием Тарасычем в Петербург.

— Этого Яков Трофимыч хочет, — объяснила она, глядя вопросительно на милого друга, — Вот поговори с ним сам...

Капитон ожидал всего, но только не этого. Он ушам своим не верил. Густомесов принял его одного, велел запереть все двери и повел серьезные речи.

— Сердился я на тебя, Капитон, а теперь надоело... Не стоит. А лучше ты сослужи мне

службу, съезди с Агнюшей в Петербург. Ловкая она у меня, оборотистая, а все-таки куда одна баба повернется... Только одно тебе скажу: не очень-то она тебя любит. Так уж ты того, как-нибудь сократи свой карахтер. Не всякое лыко в строку... Да и не молода она сейчас-то, так тебе и покориться в самую пору.

Агния Ефимовна повела дело так, что муж должен был упрашивать ее ехать с Капитоном. Она для приличия поломалась и согласилась только с тем условием, если поедет вместе Аннушка. Это был второй акт комедии. Анна Егоровна отказалась от поездки наотрез, с настойчивостью, удивившей даже Агнию Ефимовну, точно это была совсем другая женщина.

— Поезжайте лучше одни, — уговаривала она мужа. — А мне что-то нездоровится, да и отец тоже все что-то припадает...

Эта поездка была отчаянным ходом со стороны Агнии Ефимовны. Она своими руками разрушала работу нескольких лет и шла вперед очертя голову. Единственная мысль овладела ею безраздельно... Пожить с Капитоном хоть один месяц, как живут другие. А там

пусть будет, что будет... Старость была на носу, и терять времени не приходилось.

— Теперь ты мой, мой... весь мой! — шептала Агния Ефимовна, когда они выезжали из Сосногорска с Капитоном на почтовых. — Час — да мой...

Капитон угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. Он вообще заметно охладел и тяготился этой связью, опутавшей его по рукам и по ногам. Когда Агния прижималась к нему головой или плечом, он испытывал неприятное чувство, точно его начинало что-то давить.

— Любишь меня? Ведь любишь? — шептала Агния, напрасно стараясь заглянуть ему в глаза. — А я знаю, о чем ты думаешь... Ты о жене скучаешь.

Вместо себя при Якове Трофимыче, уезжая, Агния Ефимовна оставила Кулькова. Как это случилось — проболтался ли Кульков спьяна, или выдал свою благодетельницу сознательно, или проснулась в нем совесть, — но не прошло двух недель после отъезда, как вся история устроенных Агнией Ефимовной хищений раскрылась во всей полноте. Говори-

ли, что Кульков куплен был Лаврентием Тарасычем, что его запугал Егор Иваныч; но это все равно, — он после своего предательства прожил только один месяц, и в его скоропостижной смерти обвиняли Агнию Ефимовну, хотя она и была в Петербурге.

В одно прекрасное утро Густомесов послал за Егором Иванычем. Когда старик приехал, Густомесов принял его келейно и заявил свои сомнения относительно сохранности своих капиталов. Осторожный Егор Иваныч пригласил еще третье достоверное лицо и только тогда приступил к проверке густомесовских капиталов. Оказалось, что наличность представляла скромную цифру в сорок тысяч, а четырехсот тысяч недоставало. Вместо банковых билетов оказалась простая белая бумага, которую Яков Трофимыч берег в железном несгораемом шкафу. Но этого было мало. У Агнии Ефимовны была от мужа полная доверенность, и по этой доверенности она на брала денег направо и налево, где только могла набрать. Кто же мог не поверить Густомесову? В общем, сумма растраты простиралась до миллиона, а Густомесов оказался чуть не нищим.

Удар был настолько велик и неожидан, что Яков Трофимыч повторял только одно:

— Не понимаю... Ничего не понимаю. Это Капитон грабил меня. Это его дело...

Возникло новое громкое дело. Капитон и Агния Ефимовна были возвращены в Сосногорск этапным порядком и заключены в тюрьму. По старым порядкам суд тянулся несколько лет, и обвиняемые все время сидели в тюрьме. Агния Ефимовна от начала до конца выдержала характер и не признала за собой никакой вины: знать не знаю, ведать не ведаю. Как с ней ни бились, но довести до сознания не могли, а старый уголовный суд держался именно на признании самого обвиняемого. Мало этого, — она запутала в деле много других, которых обвиняла, главным образом, во взяточничестве, вымогательствах и сообщничестве. Дело разрасталось все больше, так что даже сами судьи были не рады ему. Капитон не сдавался года три, а потом махнул на все рукой и принес повинную. Когда это передали Агнии Ефимовне, она со спокойной улыбкой заметила:

— Кто повинился, с того и взыскивайте...

Восемь лет тянулось дело, пока Агния Ефимовна предстала пред судьями. Но и тут вышел казус: Густомесов скоропостижно умер накануне. Некому было обвинять, и громадное дело рухнуло само собой. Присутствовавший на заседании Егор Иваныч думал свою горькую думу: не открой он таежного дела, ничего бы не было, а главное, не загубил бы он дочери.

— Да, хорошее приданое я тебе приготовил, Аннушка...

Оправданные судом Капитон и Агния Ефимовна сейчас же уехали в Сибирь, и об них не было ни слуху ни духу.

Первый вал бешеного сибирского золота пролетел, и в Сосногорске наступило тяжелое похмелье после пира горой.

Не укажешь

I

Летнее душное утро. Солнце поднялось без лучей, в кровавом зареве. Воздух стоит неподвижно, точно расплавленный металл. Земля уже две недели томится засухой, а дождя все нет. Громадное село Вершинино точно вымерло. Нет обычного оживления, деловой суеты и движения. В воздухе точно висит роковая мысль о засухе. Широкая улица пуста, и только кой-где у завалинок копошится белоголовая деревенская детвора. Некоторые признаки жизни замечаются в двух пунктах — у кабака и волостного правления. У волости стоят две пустых телеги и привязана к столбу хромая лошадь. В тени ворот лежит волостной пес Гарька; он высунул язык и изнемогает от наливающегося зноя. Все окна в волости распахнуты настежь, но эта крайняя мера не достигает цели — в комнате и душно, и пыльно, тяжело.

— Вот так жарынь навалилась... — изнемогающим тоном повторяет староста Вахромей, не обращаясь, собственно, ни к кому. Здоро-

венный староста вообще испытывает угнетающую тоску, когда сидит за столом. Кажется, и дела никакого нет, а тяжело сидеть чурбаном. Вон старшина, седенький и лысенький старичок, бывший содержатель постоялого двора, тот увяз в дела и читает какие-то бумаги, которые ему подсовывает писарь Костя, кудрявый молодой человек с зеленоватыми глазами. У писаря всегда дело, и он вечно скрипит пером, скорчившись над бумагами.

— Хоть бы дождичка... — уныло тянет староста, отмахиваясь рукой от мухи, которая стремится сесть непременно на его нос. — Вот бы как хорошо!..

Ты бы шел домой, Вахромей, — советует старшина, — а то зря только торчишь тут...

А што я буду дома делать?.. Здесь-то все же на людях...

— Право бы шел, — продолжает советовать старшина. — Делать тебе нечего, ну, богу бы помолился насчет бездождия. Ты у нас заместо дьякона — столько же работы...

Старшина — ядовитый старичонка и не упускает случая поязвить добродушного и глуповатого старосту. В свободное время пи-

сарь Костя помогает ему в этом скромном занятии, и случалось не раз, что разозленный Вахромей бросался с кулаками на Костю, и писарь спасал свою приказную душу бегством. Но сейчас Вахромей не может даже сердиться и только моргает заплывшими жиром свиными глазками. До обеда еще далеко, а тут хоть ложись да помирай. В голове Вахромея проползает мысль о том, что хоть бы конокрада поймали — все же развлечение. Кроме начальства, сейчас в волости всего два мужика, которые почтительно стоят у дверей и внимательно следят за писарем, как тот выправляет им новые паспорта. Вообще ничего интересного... Староста слушает, как храпит сторож Ипат в своей каморке, как где-то жужжит муха, как воркуют голуби, — опять скучно. Хоть бы бабы подрались и пришли судиться, или Тришку-буяна привели, или завернул бы сторож Агап, который вечно жалуется на зятьев, — хоть бы что-нибудь этакое подходящее. Небось, в ненастье, особливо в осеннюю пору, так все и прут в волость, а теперь ни одна собака не забежит. Чтобы развлечься хотя немножко, Вахромей принялся

ловить муху. Он закрывал глаза и ждал, когда ока усядется к нему на нос, но муха оказалась хитрее и не поддавалась этой уловке. Это невинное занятие неожиданно было прервано топотом босых ног сейчас под окном. Вахромей высунулся в окно и закричал:

— Куда вас, пострелов, несет? Вот ужо я вас!..

Промчавшаяся детвора что-то крикнула в ответ и исчезла, как спугнутая стая воробьев.

— Куда бы им бежать? — подумал вслух Вахромей, — Уж не пожар ли, сохрани бог!..

Точно в ответ на эти слова, откуда-то из-за угла вынырнула босоногая и белокурая девчонка, которая подошла к окну и тоненьким голоском проговорила:

— Дяденька, што я тебе скажу...

— Ну?..

Девочка перевела дух и ответила:

— Максим-то, который печи кладет...

— Ну?..

— Максим-то повесился, дяденька...

— Что ты врешь-то, глупая?..

— Вот сейчас провалиться, повесился... В бане у себя... Наши ребята видели. Все туда бе-

гут...

— Это печник Максим?

— Он, он... Ребята-то бегут мимо бани, а в предбаннике голые ноги болтаются. Вот сейчас провалиться!

— Силантий Парфеныч, слышишь? — обратился Вахромей к старшине.

— Чего-нибудь врет девчонка... — отозвался старшина. — А ты с больного-то ума уши развесил!

Это недоверие оказалось преждевременным, потому что прибежал запыхавшийся сотский и подтвердил рассказ девочки. Впечатление получилось ошеломляющее. В Вершинине за десять лет это был всего второй случай, что человек вздумал повеситься. Утопленников было достаточно, бабы отравляли мужей, одни солдат зарезался, а удавленники составляли большую редкость. Да и печник Максим — человек пожилой, непьющий, справный. Еще недавно он в церкви печь перекладывал.

— Что же мы будем делать?.. — спрашивал всполошившийся старшина. — Ах, разбойник!.. Время-то какое выбрал: страда на носу,

а он веситься...

— А если ему нравится? — пошутил Костя.

— Вот я ему покажу... — ругался старшина. — Пойдем, Вахромей. Живого, сотский, вынули из петли?

— Как есть живой... ругается... Ребята доглядели, Силантий Парфеныч, а то бы удавился вконец.

— Ах, разбойник! Ах, душегуб!..

II

Староста Вахромей совершенно был счастлив случившимся событием, которое точно разбудило его. Он быстро шагал вперед всех, так что старшина едва поспевал за ним. По дороге их обогнали еще две стайки деревенской детворы, летевшей к месту происшествия. От волости до избы Максима было всего сажен сто, — пройти по улице к церкви, а потом повернуть направо.

— Нет, время-то какое выбрал, а?.. — повторял старшина. — Добрые люди к страде готовятся, а он петлю себе приспособил... Ах, разбойник, разбойник!..

Около избы Максима собралась уже целая толпа, состоявшая из ребят, баб и стариков.

Настоящих мужиков было не видно, — они точно совестились за случившееся. Изба у Максима была новая, хорошая, и двор хороший, и огород, и всякая хозяйственная пристройка. Одним словом, жил человек справно. Это обстоятельство еще сильнее озлило старшину. Ежели бы это наделал какой-нибудь пьянчуга, как зарезавшийся солдат или забулдыга Тришка, а то настоящий, справный мужик, у которого старший сын женат второй год да две девки-невесты на руках., — Чего вам тут понадобилось? — накинулся старик на баб. — Брысь по домам!.. Точно на свадьбу сбежались!

Толпа попятилась, но не расходилась. Вахромей схватил валявшуюся палку и бросился разгонять.

— Убирайтесь домой, бессовестные!.. С человеком, можно оказать, несчастье, а они глазеют. Вот ужо я вас!..

Максим, пожилой мужик с окладистой бородой, сидел у себя на крылечке и не шевельнулся, когда начальство вошло во двор. Это спокойствие немного озадачило старшину, и он проговорил как-то растерянно:

— Ты это что, Максим, надумал-то... а?..

Максим молчал, глядя куда-то в угол. В сенях что-то шевельнулось, и послышались сдержанные рыдания. Вахромей уперся глазами в Максима и рассматривал его с удивлением барана, который стукнулся головой в забор. Писарь Костя тоже смотрел на Максима, напрасно стараясь увидать в нем что-нибудь такое, что говорило бы об удавленнике, о человеке, который мог повеситься, — смотрел и ничего не находил. Человек, как все другие люди, Максим всегда был молчальником, молчал и теперь.

— Нет, ты что молчать-го? — уже с азартом наступал старшина, проникаясь своей ответственной ролью начальника. Вот сидишь, вытаращил глаза, а мы за тебя отвечай... Время-то какое стоит, а?.. Вот-вот все поедут на покос, а тут мертвое тело... Одними понятыми заморили бы, да еще ставь подводы под станового, да под следователя, да под дохтура. Это как, по-твоему?.. Тебе-то все равно, а мы бы не расхлебались с начальством... Одних харчей сколько бы сошло за тебя, разбойника: и станового корми, и дохтура, и следовате-

ля... Эго как, по-твоему?.. Да еще хорони тебя... Может, и попу пришлось бы платить, и за гроб, и за могилу, да еще поп-то отпевать бы не стал. Кабы ты своей смертью помер, так и похоронили бы тебя честь-честью свои домашние, а тут нам же пришлось бы с тобой возиться...

Эти хозяйственные соображения подняли в старшине всю злость, и он даже замахнулся на неудачного удавленника.

— Надо осмотреть баню, — решил писарь Костя в качестве делового человека. — Все по порядку...

— И то осмотреть... — поддакнул Вахромей. — Может, там найдется што-нибудь... Ведь черт его знает, што у него было на уме!

Баня была старая, как ее поставил еще отец Максима. Осмотр не дал ничего интересного: баня как баня. Даже не было веревки, на которой хотел повеситься Максим.

— Надо понятых созвать, — советовал Костя. — Составить протокол на всякий случай. Да и баню надо, тово, опечатать.

Понятыми взяли соседей. По пути привели жену Максима, пожилую, болезненную жен-

щину с убитым лицом. Она, как комок, бросилась в ноги старшине и запричитала:

— Будь отцом родным, Силантий Парфеныч, не погуби... Ничего я не знаю, ничего не ведаю.

— Ах, глупая баба!.. Нашей причины тут никакой нет, а што следовает по закону, то Максим и получит.

Так как олицетворением закона являлся писарь Костя, то жена Максима и переползла к его ногам. Понятые стояли сумрачно и старались не смотреть на эту жалкую сцену, пока Вахромей не поднял старуху на ноги. Общее внимание теперь было занято принесенной старухой веревкой. Это был обрывок старых вожжей и походил на все остальные веревки. Как ее ни вертели, в веревке не оказалось никаких особенно зловещих особенностей. Писарь занес ее в протокол, как вещественное доказательство: «а вышеизложенную веревку приобщили к настоящему делу». Под протоколом подписался старшина, а Вахромей и понятые поставили кресты. После этой невинной церемонии больше ничего не оставалось делать, хотя все и сознавали, что

нужно что-то сделать: случай вышел не за обычай, и всем почему-то было совестно.

— А что мы с ним будем делать? — взмолился старшина каким-то упавшим голосом. — Как его так-то оставить?..

— Конечно, связать, — соглашался Вахромей. — Еще убежит, пожалуй...

Эта мысль почему-то показалась всем самой вероятной, и все торопливо зашагали во двор. Костя нес веревку, завернув ее в протокол. А Максим по-прежнему сидел на крылечке, в прежней позе. Старшина почувствовал новый прилив законного озлобления и накинулся на Максима с новым азартом:

— Ах, ты, идол отчаянный!.. Погляди-ка, как ты начальство свое беспокоишь! Все, брат, в бумагу описали, и веревка твоя — во... Будет над нами тебе издеваться! Да... Тоже придумал!

— Чего с ним разговаривать, — вмешался Вахромей, жаждавший тоже проявить слою энергию. — Костя, давай-ка сюда веревку-то...

В качестве специалиста Вахромей очень ловко скрутил Максиму руки назад и даже для безопасности поплевал в узел.

— Ну, теперь трогай.

Максима торжественно повели в волость. Он шел без шапки, опустив голову. В избе раздался громкий бабий вой. Вахромей шел впереди всех и кулаками разгонял толпу любопытных.

— Нет, что мы будем с ним делать! — повторял старшина, чувствуя изнеможение.

— А там видно будет, Силантий Парфеныч, — решил Костя. — Созовем старичков, пусть они решают... Дело совсем особенное. Ни к чему его не подведешь...

III

Хлопоты с Максимом заняли как раз все время до самого обеда, чем особенно был доволен староста Вахромей, скучавший без дела до тошноты. Неудачник-удавленник был посажен в холодную, а начальство отправилось по домам обедать.

Около волости собралась кучка любопытных, ожидавшая дальнейших событий. Ответственными лицами при холодной оставались каморник Ипат, из отставных солдат, и сотский с бляхой. Посаженный в заключение Максим не проронил ни одного слова.

— Еще сделает над собой что-нибудь, — сомневался Ипат, заглядывая в дверное оконце. — Эй, Максим, ты жив?

Максим молчал.

После обеда начальство выспалось, напилось чаю и явилось в волость уже под вечер, когда свалил дневной жар.

В волости уже собрались старички, долженствовавшие решить судьбу Максима. Все чувствовали себя неловко и потихоньку переговаривались между собой. Всем было ясно одно, именно — что не иначе, что Максима попутал нечистый, а с другой, и закон требовал удовлетворения. Ведь если каждый так-то начнет безобразничать, то что же это будет?.. Вообще чувствовалась важность наступившего момента и еще большая важность предстоявшей ответственности.

— Ну, старички, надо это самое дело обмозговать, — заявил старшина, усаживаясь на свое место.

Писарь Костя вооружился бумагой и пером, чтобы писать постановление. Старичкам была предъявлена веревка, и они отнеслись к ней с должным вниманием. Седые и лысые

головы внушительно качались, а веревка переходила из рук в руки. Самый влиятельный из стариков, бывший церковный староста Сысой, заявил первый:

— Не порядок, господа старички...

— Уж это што говорить!.. — загалдели разом судьи. — Прямо сказать: всех он острамил, Максим.

— А перед начальством кто должон отвечать? — опять начал горячиться старшина. — Он-то задохся бы в петле, а мы отвечай... Да еще мы же его и хорони на опчественный счет, да харчи начальству, да протоны, да поп бы еще не стал хоронить самоубивца. А пора наступает страдная... Понятых должны бы были измором морить у мертвого тела. Вот какое дело, господа старички...

— Уж на што хуже, Силантий Парфеныч... Страм. А надо его самого, идола, допросить...

Сторож Ипат торжественно ввел Максима. Удавленник был бледен, но спокоен. Он был в одной рубахе, пестрядинных портах и босой, — такой упрощенный костюм совсем не вязался с трагическим положением Максима. Он несколько раз переступил с ноги на

ногу, потом почесал одну ногу другой и посмотрел на вершининский ареопаг. Что происходило в душе этого человека? Что довело его до мысли о самоубийстве? Ведь было же что-то, что заставило его лезть в петлю, и это все чувствовали, рассматривая Максима с озлобленным любопытством. Наложить на себя руки — страшный грех, а Максим не побоялся. Писарь Костя громко прочитал протокол осмотра места действия, а затем Максиму была предъявлена «вышеизложенная веревка».

— Эта, што ли? — сурово спросил Вахромей.

Максим взял веревку, подержал ее в руках, обвел присутствующих удивленным взглядом и конвульсивно улыбнулся.

— Ах, Максим, Максим!.. — укоризненно говорил один из старичков. — Вот как нехорошо! И што это тебя попутало?.. И что мы, значит, с тобой сейчас должны сделать? Отпустить так — не порядок... Ведь не порядок? Ну, отослать тебя к становому — закона того нет. Так, Коскентин? Озадачил ты нас (вот как...

— Что вы с ним, господа старички, понапрасну балакаете? — обиделся старшина. — Ведь он-то нас не жалел, когда в петлю лез...

— Нет, постой, Силантий Парфеныч... Ты свое уж сказал, а надо все по душе, на совесть, чтобы никому не обидно было. Ведь и в ём, в Максиме, тоже не пар, а душа... Ну, как ты сам-то о себе полагаешь, Максим, про это свое качество, а?..

Подсудимый переминается с ноги на ногу и запускает руку в затылок. Этот жест обличал, очевидно, начинавшееся раскаяние. Человек приходил в чувство у всех на глазах.

— Ну, Максим, так как же нам с тобой быть?.. По совести будем говорить, на полную очистку... Устыдил ведь ты нас всех. Руки опустились у всех... Ах, Максим, Максим!.. До чего ты нас-то довел?

Потом вдруг произошло общее молчаливое соглашение. Старшина сделал таинственный знак Ипату. Максима подхватили сотские... Через десять минут он поднимался с грязного пола и, поправляя приведенный в беспорядок костюм, угрюмо проговорил:

— А тоже не укажешь...

Ипат, уносивший пук розог, остановился, ожидая нового приказания, но старички только замахали на него руками.

Оборотень

I

Весь округ Белых-Ключей был взволнован дерзостью совершенного преступления. Даже на таких бойких промыслах, где «не без греха», то есть ежегодно совершались убийства, настоящий случай произвел особенное впечатление. Убили среди белого дня нового приискового поверенного компании наследников Апрелева. Положим, убили в лесу, но вся обстановка преступления говорила об отчаянной смелости разбойников. По дороге шли и ехали с одних промыслов на другие; дорога вообще была бойкая и людная.

— Арсюткино дело! — решили все в один голос. — Некому, окромя его...

Арсютка был в своем роде приисковый герой. Он давно уже «ходил в семи душах», то есть судился за убийство семи человек, и приговорен был к бессрочной каторге. Он был родом из Белых-Ключей и время от времени яв-

лялся на родину, где его ловили, представляли по начальству, а затем он уходил на каторгу, чтобы «в некоторое время выворотиться обратно». Все к этому привыкли, а становой Иван Павлыч, имевший резиденцию в Белых-Ключах как в центре целого золотопромышленного округа, не без самодовольства говорил, когда проходил новый слух о возвращении Арсютки:

— Ничего, пусть погуляет, а моих рук ему не миновать... Четыре раза его ловил. У меня кошка с котятами не пройдет мимо... Да.

Золотопромышленная система Белых-Ключей была заброшена далеко на север Урала и занимала площадь не в одну тысячу верст. Селения были разбросаны на большом расстоянии. Даже колесные дороги были не везде, а сообщение происходило летом по рекам и лесным тропам. Зато зимой везде была дорога. Открытые лет двадцать тому назад золотые промыслы очень оживили этот край. Появились временные поселки, население увеличилось благодаря приливу промысловых рабочих. Последние набрались, по меткому выражению, «с бору да с сосенки» и представ-

ляли типичную промысловую ватагу, перекочевывавшую с места на место. Стоило пройти слуху, что где-нибудь найдено новое месторождение золота, и ватага являлась попытать счастья. Знаменитые апрелевские промыслы переживали несколько таких периодов; то они «изубоживались» — и рабочая волна с них отливала в другие места, то на них открывалось новое золото — и волна приливала снова. Сейчас промыслы находились в состоянии такого прилива.

У апрелевской компании было несколько поверенных, с главным поверенным Степаном Никитичем во главе. Это был худенький седенький старичок с маленькими глазками и какими-то смешными густыми бровями, совсем уж не гармонировавшими с мелкими чертами лица.

— Не может этого быть!.. — говорил Степан Никитич, когда на промыслах случалась оказия. — Отчего же меня не убивают? Да-с, слава богу, двадцать лет вожу и золото и деньги, и все знают, когда я еду, а вот жив. Никто еще пальцем не тронул. Я, батюшка, старый приисковый волк... Я и Арсютку

сколько раз видал. Да-с...

Убитый поверенный Черняков только недавно поступил на службу в компанию и был командирован в Екатеринбург за получением из банка довольно крупной суммы для расчета рабочих. Очевидно, его поджидали на дороге и убили наповал выстрелом из засады. Ямщик убежал в лес, бросив лошадей на дороге. Убийцы похитили сумку с деньгами и скрылись. Чернякова нашли мертвым в экипаже. Это был еще совсем молодой человек, лет тридцати.

— Арсюткина работа, — уверяли все. — Отчаянный человек, одним словом...

Недели за две до убийства уже ходили слухи, что Арсютка «выворотился» с каторги и что его видели. Но кто видел и где, оставалось неизвестным, потому что все боялись отчаянного человека, которому было все равно.

— Ну и народец только! — возмущался становой Иван Павлыч. — Боятся разбойника... Да ведь у него не две головы? А что он убил Чернякова, так это верно. По работе видно...

В Белых-Ключах проживала еще мать Арсютки, больная, полуслепая старуха. Арсютка

каждый раз ее навещал, но старуха молчала, и даже Иван Павлыч не сердился на нее.

— Что же поделаешь: для нас Арсютка — разбойник, а для нее сын, — объяснял он.

А об Арсютке продолжали ходить самые упорные слухи. Кто-то его встретил на дороге, потом его видели в покосной избушке, потом он просил у кого-то хлеба и т. д. и т. д. Все эти слухи Иван Павлыч принимал за личное оскорбление. Помилуйте, какой же он становой, если разбойник Арсютка ходит у него под носом и нисколько его не боится? Да и перед апрелевской компанией совестно, потому что убитый Черняков вез с собою больше двадцати тысяч и все эти деньги достались Арсютке. А тут еще Степан Никитич подзуживает. Положим, старый друг и приятель, а все-таки обидно.

Главное управление апрелевской компании помещалось в Белых-Ключах, рядом с становой квартирой. По вечерам, когда работа кончалась, Степан Никитич выходил на крылечко и кричал:

— Эй, Иван Павлыч, разе взыгранем?

Иван Павлыч в это время пил обыкновен-

но чай у открытого окна и отвечал:

— Да что-то аппетита нет на карты, Степан Никитич...

— Боишься остаться без трех, как в прошлый раз?

— Ах, ты, старая кочерыжка!..

Нужно сказать, что Иван Павлыч очень любил играть в карты, но считал своим долгом немного поломаться. Все-таки, как хотите, он начальство, чиновник, а Степан Никитич хоть и главный поверенный, но все-таки служит по вольному найму.

— Иван Павлыч, что же ты... а? — слышался голос Степана Никитича. — И Гаврило Федотыч уж ждет...

Иван Павлыч грузно поднялся, надел летний китель и с недовольным видом отправился в контору.

— Ну, вот и я... — хмуро заявил он, появляясь на террасе конторы, где уж был поставлен столик с закуской и Гаврило Федотыч, промысловый бухгалтер, мрачный и молчаливый господин, разбирал карты.

— Ну вот, ну вот... — бормотал Степан Никитич, играя бровями. — Надо поломаться...

а? Хорошо, я тебе объявлю большой шлем... хе-хе...

Нужно сказать, что игра в карты в Белых-Ключах происходила при некоторых особенных условиях. Дело в том, что Белые-Ключи засели в болоте, и летом не было житья от так называемой «мошкары». Это маленькое насекомое, почти едва заметное, отравляло всем жизнь. Ничтожная по величине мушка лезла в глаза, уши, рот, нос и пребольно кусалась. У людей непривычных, с чувствительной кожей в один день лицо превращалось в пузырь. Единственным спасением от этой «мошкары» служили «смолокурки», то есть железные коробки, в которых тлело смолье, пускавшее струю едкого дыма. Конечно, было неприятно дышать таким дымом, кашлять от него, чихать и проливать слезы, но все-таки из двух зол это было лучшим. В июльские жары рабочие носили такие смолокурки на поясах. Особенно надоедала «мошкара» вечером, когда собиралась на огонек. У Степана Никитича была устроена специальная смолокурка для игры в карты, которая и ставилась под карточный стол, так что игроки все время на-

ходились в дыму.

— Ну, вот и отлично! — радовался Степан Никитич, когда на террасе показалась грузная фигура Ивана Павлыча. — У нас и смолокурка готова.

По обычаю, перед игрой немного выпили и закусили.

— Время наступает ночное, нужно зарядить для безопасности, — шутил хозяин. — А то еще Арсютка, того гляди, напугает...

Иван Павлыч нахмурился, но ничего не ответил: обладая веселым характером, старик иногда перешучивал.

Сели играть в преферанс. Из-под стола так и валил дым, но приходилось терпеть. Бухгалтеру везло, как всегда, и Иван Павлыч начал сердиться и рисковать.

— А вот мы вашу даму по усам, Иван Павлыч, по усам! — выкрикивал Степан Никитич, убивая считанную взятку.

Выпили еще по маленькой. Иван Павлыч раскраснелся. Тут случилось нечто необыкновенное. Иван Павлыч сходил с короля черв, а Степан Никитич убил его козырем, да еще проговорил:

— А мы и Арсютку по усам… х-ха!..

Это уж было слишком. Иван Павлыч побагровел, молча поднялся, молча надел свою форменную фуражку и молча пошел с террасы.

— Иван Павлыч, голубчик, воротись! — умолял Степан Никитич, напрасно стараясь удержать старого приятеля за рукав, — Ну, так, сорвалось с языка… Ну его к черту, Арсютку!.. Иван Павлыч, голубчик…

Но Иван Павлыч был неумолим и молча ушел к себе домой. Тогда уже рассердился Степан Никитич.

II

Нет ничего печальнее, когда рассорятся два старинных друга… Десять лет были знакомы, водили хлеб-соль, ежедневно встречались, и вдруг — нет ничего. Когда Степана Никитича спрашивали об Иване Павлыче, он с удивлением поднимал свои густые брови и говорил:

— Какой Иван Павлыч? Я не знаю никакого Ивана Павлыча…

То же проделывал и Иван Павлыч, когда его спрашивали про Степана Никитича, и

прибавлял:

— Ах, да, вы говорите про этого... да, про этого... гм... Не советую вам с ним встречаться.

Прибавьте к этому, что оба друга очень скучали, угнетаемые одиночеством. Какое общество, в самом деле, можно было найти в Белых-Ключах? Иван Павлыч дошел до того, что по вечерам дулся в шашки с собственным письмоводителем, а Степан Никитич играл на флейте, и, нужно отдать ему справедливость, прескверно играл. Хуже всего было то, что им приходилось встречаться по делам службы, и они вынуждены были разыгрывать комедию старой дружбы, чтобы не подавать соблазна подчиненным.

А виновник этой глупой ссоры, Арсютка, продолжал «бегать», и его продолжали видеть в разных местах, даже зараз в нескольких местах. Иван Павлыч поклялся его поймать и налетал орлом по первым слухам, но Арсютка ускользал у него из-под самого носа с отчаянной дерзостью. Главное, что было обидно: денег у Арсютки было достаточно, — ну и шел бы с богом на все четыре стороны,

так нет — засел в Белых-Ключах. Даже по ночам Ивану Павлычу спалось плохо: все грезился Арсютка. Даже начал Иван Павлыч заговариваться. Встанет к окошку, погрозит кулаком на приисковую контору и бормочет:

— Я тебе покажу Арсютку, старая кочерыжка!.. За ухо к тебе на двор приведу... Да...

Степан Никитич скучал, особенно по вечерам. Так бы и позвал Ивана Павлыча или сам пошел к нему. Раза два он машинально подходил к становой квартире и даже поднимался на крылечко, а потом отплевывался и торопливо уходил к себе домой.

Чтобы как-нибудь убить время, он начал частенько уезжать на другие прииски, где можно было провести время в компании. Раз он отправился на прииск Говорливый, где жил доверенным Егоров, у которого была жена Анна Сергеевна, великая мастерица делать пельмени. День задался дождливый, дорогу развело грязью, и пара лошадей с трудом тащила легонький плетеный коробок. Верстах в шести от Белых-Ключей попался какой-то мужик с котомкой за плечами, как ходят приисковые рабочие. Он сидел на пеньке и перевя-

зывал ногу. Когда плетенка поровнялась с ним, мужик поднялся, снял шапку, поклонился и проговорил:

— Степану Никитичу доброе здоровье!..

— А ты как меня знаешь?

— Кто же тебя не знает, Степан Никитич. Одним словом, благодетель... Все за тобой сидим, как тараканы за печкой.

Кучер остановил лошадей, чтобы поправить сбочившуюся дугу. Мужик показал глубокую рану на ноге и проговорил:

— Довез бы ты меня, Степан Никитич... Все равно один едешь, а мне по пути.

Степан Никитич понюхал табаку и пожалел промыслового человека. Славный такой мужик. Сейчас видно свою, приисковую косточку.

— Ну, садись на козлы, как-нибудь доедем, — пригласил Степан Никитич.

— На вашей работе ногу-то извел, Степан Никитич.

Мужик перевязал свою ногу на скорую руку и взмостился на козлы. Кучеру, очевидно, было неприятно везти лишнего человека, и он что-то ворчал себе под нос...

— Много вашего брата тут шляется... Всех не перевозишь. Еще лошадей пересобачишь...

Поехали. Степан Никитич любил дорогой побалагурить и подробно расспросил мужика, откуда он идет, куда и зачем. Тот отвечал все как следует быть и в заключение попросил покурить «цигарочку».

— Табаку я не курю, а вот понюхать можешь, — предложил Степан Никитич и прибавил, посмеиваясь и прищелкивая пальцем по крышке табакерки: — Это, братец, у меня оборона против разбойников... Ведь всю жизнь с деньгами по лесам езжу. А напади разбойник, я ему в глаза и брошу щепотку табачку... хе-хе!.. Пока он будет чихать да кашлять, меня и след простыл.

— И Арсютки не боишься?

— И Арсютки не боюсь... Я ему прямо всю морду табаком залеплю. Я ведь не Иван Павлыч... Хе-хе!..

— Ах, ты какой лукавый, Степан Никитич! — смеялся мужичок, покачивая головой.

Потом он прислушался и сказал:

— Степан Никитич, а ведь за нами погоня!

— Какая погоня?

— А Иван Павлыч со стражниками гонится за Арсюткой... Значит, его видели где-нибудь поблизости. В самый бы раз тебе, Степан Никитич, теперь его табаком своим посыпать...

Действительно, это была погоня, и Степан Никитич только подивился, какое у мужика чуткое ухо.

«Погоню гнал» сам Иван Павлыч в сопровождении четырех своих стражников.

— Экая, подумаешь, Арсютке честь, — заметил мужичок. — Он-то один бежит пешком, а за ним пятеро верхом гонятся. Нагнал он холоду Ивану-то Павлычу...

Погоня летела на полных рысях. Иван Павлыч издали узнал плетенку Степана Никитича и про себя обругал «старую кочерыжку», которая шляется в такую погоду по промыслам. По пути Иван Павлыч сообразил, что старикашка едет именно есть пельмени к Анне Сергеевне. «Вот лукавый старичонка!» — обругал он его про себя. Увидав сидевшего на козлах мужика, Иван Павлыч только улыбнулся: «Эге, Степан Никитич все хвастался, что не боится Арсютки, а сам теперь с обережным ездит... Вот так храбрец!.. Ах, ты, старая

кочерга... Вот тебе и король черв. Смеется, видно, последний. Х-ха!..»

Догнав Степана Никитича, Иван Павлыч сделал вид, что не узнал его, и даже отвернулся: «Э, пусть чувствует, старый колдун»...

— Ишь, как гордится Иван-то Павлыч, — заметил мужик на козлах, передвигая свою шапку с уха на ухо. — И тебя не хочет узнавать, Степан Никитич.

— Бог с ним, — смиренно ответил Степан Никитич и угнетенно вздохнул.

Плетенка до прииска Говорливого тащилась уже часа три, и Степан Никитич даже пожалел, что поехал в такую даль за семь верст киселя хлебать.

Когда вдали показалась приисковая стройка, сидевший на козлах мужик остановил самовольно лошадей.

— Ну, Степан Никитич, спасибо тебе, что подвез, да и от погони укрыл...

Степан Никитич ничего не понимал и молча смотрел, как мужик спустился с облучка, поправил свою котомку и снял шапку.

— Спасибо, говорю, — продолжал мужик. — А встретишь Ивана Павлыча, так ска-

жи, что, мол, Арсютка тебе поклонник прислал...

— Что-о?.. Да ты...

— Я и есть самый Арсютка... Аль не узнал, Степан Никитич?.. Ну, а теперь прощай...

Арсютка повернулся, перепрыгнул дорожную канаву и быстро зашагал к ближайшему леоку. Степан Никитич выскочил из экипажа и неистово закричал:

— Держи его, разбойника!!.. Арсютка, стой!!.. Кучер, держи его!..

— Да, ступай-ка сам и подержи его, — спокойно ответил кучер, почесывая в затылке. — Он тебе покажет...

— Караул!!.. Батюшки, держите!.. — орал Степан Никитич, бегая около экипажа. — Арсютка, стой!..

Когда Арсютка скрылся в лесу, Степан Никитич накинулся на кучера.

— Ты... ты ведь его узнал?.. А?..

— Конечно, узнал...

— Так что же ты все время молчал, негодяй... а?

— У меня не две головы... Рядом сидели, — ну, как пырнет ножом в бок. Ты его сам поса-

дил, Степан Никитич, твой и ответ…

— Я?! Ах, ты… Да я… я…

На Говорливый прииск Степан Никитич приехал в страшном волнении. Как на грех, Иван Павлыч сидел в приисковой конторе и пил чай. Все страшно переполошились, когда Степан Никитич рассказал о случившемся, кроме Ивана Павлыча, который довольно ядовито заметил:

— У страха глаза велики, Степан Никитич… Тебе просто поблазнило от древности твоих лет.

— Мне?!.. А кучер?

— А твой кучер — просто дурак… Если он будет болтать глупости, так я его велю выдрать.

Это приключение сильно подействовало на Степана Никитича. Старик как-то сразу опустился, начал всего бояться, прислушивался по ночам к малейшему шороху и по секрету всем сообщал:

— Это был оборотень… Он по душу мою приходил… Да…

Вообще человек рехнулся.

Через полгода Иван Пазлыч поймал Ар-

сютку, устроив облаву в лесу. Степан Никитич был вызван в качестве свидетеля, но не признал в Арсютке того мужика, которого вез на козлах.

— Да ты погляди на меня-то хорошенько, Степан Никитич, — дерзко говорил Арсютка. — Еще тогда меня табачком угощал...

— Нет, ты — оборотень... — повторял Степан Никитич.

Семейная радость

I

Старуха Марья Андреевна почти целый день проводила у окна. Ей было уже за восемьдесят, и она плохо слышала, хотя горничные и уверяли противное — что не нужно, так старая ведьма, не бойсь, услышит.

— Давно черти с огнем на том свете ищут, — уверяла горничная Даша, очень бойкая и задорная особа. — В чужой век живет старая карга.

Старуха смотрела на Дашу своими мутными глазами, качала головой и отвечала:

— Ужо вот тебя на том свете черти-то припекать будут...

Когда старуха сердилась, лицо у нее делалось страшным: глаза как-то останавливались, нижняя челюсть отвисала, из-под платка на голове выбивались космы начинавших желтеть седых волос. Сейчас трудно было сказать, была она когда-нибудь красива или безобразна, только крючковатый нос и выдававшийся вперед подбородок говорили о резких, типичных чертах.

Итак, Марья Андреевна сидела у окна и смотрела на улицу. Трудно было бы сказать, о чем она думала и в состоянии ли она вообще о чем-нибудь думать. Впрочем, этим никто не интересовался. Поднималась она раньше всех в доме и этим досаждала прислуге. Потом шла к заутрене — досаждала дворнику; потом приходила из церкви прямо к чаю и досаждала решительно всем, потому что всякому до себя, а эта старуха только мешается. Одним словом, в богатом доме ей не было места, и она это чувствовала. Чуть кто подойдет — она сейчас поднимется и перейдет на другое место.

— Бабушка, да что ты все толчешься! — ворчали на нее. Даже в глазах рябит...

Если старуха засиживалась на одном месте, когда на нее находило забытье, это еще больше возмущало всех.

— Помилуйте, что она торчит на одном месте, как кукла! Смотреть тошно...

Когда старуха замечала это общее недовольство, у нее делалось испуганное лицо и она старалась куда-нибудь спрятаться, что было не легко, так как семья была большая и все комнаты были разобраны. Нигде не было места Марье Андреевне, и она слонялась по дому, как тень.

Прислуга устраивала ведьме всевозможные каверзы, а когда та жаловалась дочери Елене Федоровне, настоящей хозяйке, то получала один и тот же ответ:

— Какая вы, маменька, странная... Отчего же прислуга делает неприятности только вам одной?.. Вы просто выжили из ума и со всеми ссоритесь... Ведь этак вы всех из дому выживете. Просто согрешила я с вами...

— Вот умру, тогда никому мешать не буду, — ворчала старуха. — Вы все хороши...

Но злейшими, настоящими врагами ведьмы были двое маленьких внучат, которые не

давали ей покоя. Детская изобретательность безгранична. Маленький Коля не мог пройти мимо, чтобы не задеть бабушку локтем, а раз даже подставил ей ногу, и старуха пребольно расшиблась. Варя была постарше и по-своему изводила старуху. Подойдет к ней, сделает ласковое лицо и заговорит:

— Бабушка, ах, как я вас люблю!..

— Уйди, змееныш...

— Нет, серьезно... И все вас любят. Жаль только, что вы скоро умрете. Так жаль, так жаль...

— Тебя еще переживу, дрянная девчонка! Назло вам всем буду жить...

От злости голова бабушки начинала трястись, а на губах выступала пена. Это забавляло маленьких инквизиторов, и они устраивали настоящую травлю, так что старуха боялась их больше, чем больших. Несколько раз внучата доводили ведьму до того, что она с яростью бросалась к образу и громко начинала их проклинать. Это выходило уж совсем смешно, и маленькие мучители хохотали до слез.

— Бабушка, милая, прокляни еще немнож-

ко... Скоро умрешь, и некому будет проклинать. Ну, еще чуточку...

— И прокляну!.. Всех прокляну, все змеиное отродье... Не будет вам счастья.

Детская жестокость являлась только отражением жестокости больших. Никто не любил старухи, пережившей самое себя и дети эту нелюбовь довели до открытой ненависти. Все опыты ведьмы найти защиту у Елены Федоровны кончались еще большей неудачей, чем распри с прислугой.

— Если уж вы не можете ужиться, маменька, с детьми, в которых все-таки ангельский образ, значит, и в самом деле вам пора умирать.

— Не избывай постылого, матушка, приберет бог милого, — ворчала ведьма.

— Вот вы всегда так, маменька: сами накликаете беду. Недавно опять проклинали невинных младенцев...

— У, змееныши... — шипела ведьма, страшно ворочая своими мутными глазами. — Мало их проклясть... да.

Надо было случиться так, что и Коля и Варя действительно умерли, умерли от тех без-

жалостных детских болезней, бессмысленных и обидных, как самая величайшая несправедливость. Еще накануне шалун Коля за общим чаем с удивительной ловкостью отодвинул бабушкин стул, и ведьма полетела на пол, а через два дня он уже лежал на столе в качестве одной из бесчисленных жертв дифтерита. Через пять дней умерла Варя от той же болезни. Обезумевшая от горя Елена Федоровна всю вину свалила на мать.

— Это ваша работа, маменька!.. — повторяла она, ломая руки. — Вот вы их проклинали все... Недаром вся прислуга говорит, что вы в чужой век живете.

Весь дом был против нее, а зять, муж Елены Федоровны, заявил, что не может видеть эту отвратительную старуху. Оставалось еще двое старших детей — женатый сын Василий и замужняя дочь Маня. Они тоже были против бабушки, потому что у них были свои дети, а она как раз накличет беду. Особенно вооружалась Маня. Это была красивая женщина, которая привела в дом красавца-мужа из оголтелых дворян. Она заявила вместе с отцом, что тоже не может видеть ведьму.

— Что же я буду с ней делать? — в отчаянии повторяла Елена Федоровна, начиная держать сторону матери. — Не могу же я выгнать восьмидесятилетнюю старуху на улицу...

— Зачем же на улицу, мама? — сказала Маня. — Никто не гонит, а только можно бабушку устроить иначе...

— Например?

— Мало ли как можно... Нанять комнату в приличном семействе или небольшую квартирку.

— Чтобы все указывали на нас пальцем? Ах, Маня! Этак ты и меня в меблированные комнаты выселишь...

— С вами, мама, нельзя серьезно говорить... У вас сейчас жалкие слова начнутся. Я говорю только о том, что бабушке же было бы удобнее...

Маня, ты ошибаешься, — с ласковой строгостью сказал ей нахлебник-муж, — Действительно, будут говорить... Одним словом, неудобно, и maman права, как всегда.

Муж Мани был дипломат и во всем соглашался с maman. В данном случае он больше

всех ненавидел проклятую старуху и с глазу на глаз настраивал постоянно опеку против нее. Одно уж то, что она ходила в каких-то ситцевых платьях и повязывала по-деревенски голову ситцевым платком, — одно это чего стоило. Приедут гости, люди солидные, а эта кикимора и вылезет.

— Может быть, можно старушку перевести в нижний этаж, — дипломатично советовал он. — Там есть очень милая комнатка рядом с кухней... Старушки любят тепло.

Этот план был отложен на время, тоже из страха перед знакомыми, — люди злы и наговорят бог знает что: рядом с кухней, из кухни постоянно идет чад, и т. д.

II

Гости донимали всех, как это умеют делать милые знакомые. Елена Федоровна несколько раз пробовала прятать старуху в такие моменты, но гости были неумолимы, особенно гостьи. «А где наша милая старушка? — спрашивали дамы. — Ах, как вы счастливы, Елена Федоровна, что у вас есть такая бабушка! Знаете, когда в доме есть такая старушка, чувствуется так уютно и тепло... да».

Это преувеличенное внимание добрых знакомых объяснялось общечеловеческой слабостью кольнуть в самое больное место: все знали, что несчастная старуха всем мешает и что ее никак не могут изжить, и поэтому устраивали самую ядовитую травлю. С другой стороны, все знакомые отлично помнили, что мичуринские капиталы пошли именно от бабушки и пошли темным путем. Тайна этого богатства должна была умереть вместе со старухой, и тогда наследники вздохнули бы свободнее. Конечно, добрые знакомые завидовали Мичуриным и не упускали случая стороной распространять про них самые ужасные вещи. Например, кто не знал, как эта бабушка ограбила родных внучат? У Марьи Андреевны было двое детей — сын Иван и дочь Елена. Иван нажил большой капитал большими плутнями, а потом попал под суд. Он предчувствовал беду и вперед передал деньги матери с условием, чтобы она их в свое время передала его детям. Старуха вместо этого передала капитал Елене Федоровне. Сын Иван так и умер в тюрьме, а его дети остались нищими. У Мичуриных о них никогда не говорили,

точно их и на белом свете не существовало. Особенной наследственностью и жестокостью отличалась Елена Федоровна. Она прямо ненавидела несчастных племянниц и считала личным оскорблением, что они имели дерзость существовать. Время от времени она все-таки испытывала смутные угрызения совести и думала, что другие люди умирают же, а вот эти несчастные живут, несмотря на бедность. Если бы они умерли, да и с бабушкой вместе!

После смерти Коли и Вари у Елены Федоровны явилась счастливая мысль, именно — переселить бабушку вот к этим ненавистным племянницам. Ведь она не чужая им, пусть они в свою долю поухаживают за ней.

— Мысль, maman, гениальная, — с восхищением одобрил этот план зять-дипломат. — Знаете, мы даже не имеем права лишать наших милых родственниц этого удовольствия... Конечно, нам не легко будет расстаться с милой бабушкой, но они имеют на нее такое же право. Да...

Выселение бабушки состоялось необыкновенно быстро. Ограбленные племянницы жи-

ли где-то на окраине и вдвоем занимали одну комнату. Но «милой бабушке» нашлось место. И какое отличное место: у самой печки! Племянницы существовали работой, которую брали из модных магазинов, и кое-как сводили концы с концами. Бабушку они приняли без удовольствия, но и без ненависти.

— Живите, бабушка… Место найдется.

Старуха посмотрела на дело иначе. Она ни за что не хотела переезжать к озлобленным внучкам и страшно протестовала. Из мичуринского дома ее увезли почти силой. Уезжая, она еще раз прокляла Елену Федоровну со все чады и домочадцы.

— Маменька, успокойтесь… — уговаривала Елена Федоровна. — Нехорошо, вы себя тревожите.

— У, змея… — шипела старуха.

Странно, что, поселившись у внучек, где был и уход и привет, старуха страшно скучала об оставленном змеином гнезде и неутешно плакала.

— Я для них все сделала… — повторяла она в отчаянии. — На чьи деньги они живут? Тогда сын Иван все мне оставил, а я все отдала

Елене. Да... Разорила я вас, внучки, пустила по миру. Ну, а милая дочь Елена меня на старости лет выгнала из дому... Не будет им счастья!..

— Бабушка, зачем помнишь старое? — уговаривали внучки, — Нам ведь ничего не нужно...

— Глупые вы, вот что... Если бы у вас были деньги, так не остались бы перестарками. Замуж бы вышли, а теперь вот христовыми невестами живете... Тоже не сладко. Другие-то живут да радуются, а вы над иголкой высохли.

Внучки действительно были уже в том возрасте, когда о женихах не думают. Старшей было за сорок, а младшей под сорок. Впрочем, им и некогда было думать о своей женской «судьбе» — все отнимала забота о куске хлеба. А тут еще бабушку бог послал... Елена Федоровна, спровадив старуху, не позаботилась обеспечить ее, — много ли старухе нужно? Пусть внучки позаботятся сами о ней — не чужая.

У внучек старуха прожила недолго. Ее точно съела тоска по ненавидевшей ее семье.

Она все тосковала и не отходила от окна. Сядет и сидит, не шевелясь, целые часы. События последних лет как-то совсем выпали из ее памяти. Она жила далеким прошлым, где ярко вставали одна картина за другой. Ей тогда казалось, что она слышит шаги сына Ивана. Раз она проснулась и заявила:

— Ну, внучки, не буду больше никого беспокоить... Скоро помру. Видела во сне сына Ивана. Вошел он в комнату и этак пальцем меня манит... Ничего не говорит, а только пальцем...

Действительно, через три дня старухи не стало. Она умерла, сидя на стуле у окна.

Известие о смерти бабушки произвело в мичуринском доме большой переполох. Все были рады и все старались не выдать своей радости. Многолетняя обуза спала с плеч. Только для приличия погоревала Елена Федоровна.

— Это милые внучки уморили старуху, — роптала она. — Она прожила бы еще лет десять, если бы не внучки...

Старики не запомнят

I

Старик Иван Герасимович жил в сарайной, то есть в двух маленьких комнатках, устроенных под сараем. Раньше здесь жили разные старушки из бедных родственниц, а сейчас пришла очередь Ивану Герасимовичу. Пока старик был в силах, он жил в главном доме, выходившем на улицу пятью окнами. Дом был деревянный, старый, но простоял бы еще лет двадцать с лишком, но сын Тихон взял и сломал его.

— Будет, пожили, тятенька, в дереве достаточно, — объяснил он своим певучим ласковым голосом. — Поставим каменный домик, как у других протчих. Чем мы их хуже? У Нефедовых вон какой домище схлопали, у Кондратьевых, у Волковых — все строятся. Ну, а нам как будто и совестно перед другими... Слава богу, капитал дозволяет.

Жаль было Ивану Герасимовичу зорить старое пепелище, а с Тихоном разве сговоришь, — уж что задумал, точно на пень наехал. Характерный человек этот Тихон, из мо-

лодых да ранний. Раньше пред отцом слова пикнуть не смел, а теперь смел спорить и перечить и делал все по-своему. Иван Герасимович, сухой и высокий старик с окладистой седой бородой, раньше держал весь дом в ежовых рукавицах, а как жена Анна Петровна умерла лет пять тому назад — сразу опустился и точно захирел. Попробует крикнуть и задать острастку, а слушать некому. Даже кухарка Фекла, которая помнила, как Иван Герасимович колачивал жену, и та нисколько сейчас не боялась его, потому что человек вышел из силы и никому не страшен.

— Будет, поцарствовал, — ворчала она себе под нос. — Раньше-то все как огня боялись, а теперь посиди в сарайной-то... Покойница Анна Петровна вот как натерпелась. Может, и в землю ушла от тебя...

Падение Ивана Герасимовича в собственном доме произошло как-то само собой, благодаря ласковой хитрости Тихона, который ограничивал отца шаг за шагом с ловкостью настоящего дипломата. Окончательно убил старика новый каменный дом. Случилось это так... Дело в том, что, принимаясь за построй-

ку нового дома, Тихон сказал отцу:

— Тятенька, вы пока поживете в сарайной, а я с женой перебьюсь как-нибудь у тестя Павла Егорыча. Оно тяжеленько по чужим углам таскаться, а приходится потерпеть... Час терпеть — век жить. Кстати, вы и за работой присмотрите, потому как свой глаз — алмаз.

Иван Герасимыч согласился, о чем потом жалел. Очень уж хитрым оказался Тихон... Постройка тянулась целый год, и старик зорко наблюдал за всем. Все-таки не без дела сидеть. Потом каменный дом просыхал целую зиму, потом его отстраивали полгода внутри, а когда пришлось переезжать в новый дом, Ивану Герасимовичу не оказалось в нем места. Прямо этого Тихон не говорил отцу, но старик и сам видел, что ему приходится оставаться в своей сарайной.

— Нельзя, тятенька, по старинке жить, — объяснялся Тихон, делая бессовестное лицо. — Надо и гостиную, и кабинет, и спальню, и детскую, и столовую — все, как у других. Есть каморка около кухни, да и там Фекла живет. А у вас здесь преотлично: и тепло и уютно. Затеплили перед образом лампа-дочку, за-

топили печку — отлично. Старички любят тепло... Самоварчик поставили. Тишина, покой, уют... Дал бы, не знаю, что дал, чтобы так пожить.

Иван Герасимович понял, в какую он ловушку попал самым глупым образом, и молчал. Он начал бояться Тихона, который забрал все дела в свои руки и никого больше не хотел знать. У них был свой кожевенный завод и лавки с кожевенным товаром.

Когда Иван Герасимович по привычке приходил на завод или в лавку, то чувствовал себя и здесь чужим. Все к нему относились с уважением, делали вид, что слушают каждое его слово, а делали все, как хотел Тихон. И знакомые купцы, старые приятели по торговле, относились к нему так же.

— Богу молишься, Иван Герасимович? — подшучивали над ним.

— И то молюсь, — отвечал Иван Герасимович, сдерживая накоплявшееся озлобление. — Худого в этом нет...

— За нас по поклоннику отложи, Иван Герасимович... Тебе уж заодно для души постараться. Хорошо, сказывают, у тебя в сарай-

ной...

— Да, ничего, тепло...

— Тихон Иваныч уж устроит... Он уж для родителя ничего не пожалеет.

— Ничего, не жалуюсь... Помирать пора... К ненастью места не могу найти, а в сарайной тепло, тихо.

— Вот-вот, в самый раз. Много ли старичку нужно: самоварчик поставил, лампадочку затеплил...

Уездный городок Казачинск затерялся в далекой степной киргизской глуши. Он являлся типичным представителем промышленного купеческого пункта, какие встречаются только по ту сторону Урала. В уезде не было ни одного дворянского имения. Купец-промышленник типичной сибирской складки составлял здесь все, а за ним уже шел уездный маленький чиновник — полицеймейстер, исправник, заседатель. Далее здесь полицеймейстер являлся шишкой. Все дела сосредоточивались на торговле скотом, салом, кожей, шерстью и хлебом. Ни обрабатывающей, ни добывающей промышленности не полагалось, кроме двух — трех салотопен да кожевенного заво-

да. Жили по старинке, как деды и прадеды. Купечество было все средней руки, и самым богатым человеком считался татарин Антай, который жил в двенадцати верстах от города. В Казачинске не было даже трактира, несмотря на шесть тысяч жителей. Единственным развлечением служил торжок под Успеньев день, когда делались крупные закупки окота, да зимние ярмарки по окрестным деревням. Вообще городок жил самой мирной жизнью, и никаких особенных событий здесь не полагалось, за исключением пожаров, степных голодовок и маленьких бед. Заседатель по обычаю простых купеческих детей справлял именины и свадьбы, ходил по гостям «на огонек» и вообще жил тихо и мирно, благословляя судьбу.

— У меня главное, чтобы все тихо, — повторял заседатель. — Чтобы ни-ни...

В собственном смысле представителями интеллигенции являлись старичок-доктор, живший в Казачинске с незапамятных времен, и смотритель уездного училища, тоже старичок и тоже живший с незапамятных времен. Но и эти представители платили

дань установившемуся духу городской жизни: у доктора была салотопенная заимка, а смотритель завел извозчичью биржу.

— Что же, нам, слава богу, жить можно, — говорили все, когда проходил день.

Конечно, играли в картишки, выпивали при случае, сплетничали и совсем не знали, что такое скука. Кто придумал, что в маленьких провинциальных городах жить скучно, — неправда, чему Казачинск служит самым убедительным доказательством.

II

Иван Герасимович был живой историей Казачинска. Его все знали, и он всех знал. Историю своего города он считал по большим пожарам, которых было три, когда весь Казачинск выгорал дотла. В третий пожар сгорели и собор и пожарная каланча. Сидя сейчас в сарайной, Иван Герасимович от нечего делать припоминал прошлое и доходил постепенно к заключению, что чем дальше, тем будет хуже. По вечерам к нему завертывал кто-нибудь из старичков, и неслись тихие душевные разговоры.

— Уж как только будут жить после нас? —

судачили старики. — Чем дальше, тем труднее жить... Баранина-то нынче в сапожках ходит. Прежде за барана давали по полтине, а нынче и приступу нет. Кишки бараньи — и те покупают.

— А шерстка как взыграла? Маслице коровье, кожи... С салом еще всяковато бывает, а к другому протчему и не подходи. На что, кажется, яйца — самая пустая вещь, а и им пошел ход...

— Кто только все это добро лопает, подумаешь... Кажется, кожу с себя сними, и то покупатель найдется.

— На ярманке сорок скупают... Ну, куда ее, сороку? А покупают.

Старички качали головами и решали, что, в конце концов, все это грешно — и только.

— Я еще помню, как пшеничка по двугривенному была, — вспоминал Иван Герасимович. — И то жаловались, что дорого. А нынче шесть гривенок пудик... Тоже вот крупы разные, овес — ни к чему приступу нету. Прежде старики жаловались, что житья нет от дороговизны, а пожили бы теперь. Ладан, и тот вздорожал... Похороны-то во что обойдутся?

Но всего удивительнее оказывались нынешние люди.

— Голову нашего, Ивана Павлыча, я помню, когда еще он с ребятами на улице в бабки играл...

— А я ему уши дирал за озорство.

— Да... А теперь, поди-ка, и рукой не достанешь. И семья была небогатая, а вылез в люди. Встретишься на улице, а он и не узнает... Распыхался из ничего.

Стариковские мысли выплывали, как талая вода, которая образует ржавые наледи. Все чувствовали, хотя и смутно, что наступает что-то новое, люди будут жить уже совсем по-иному. Наступал конец старины. Что держалось отцами и дедами, точно провалилось. И как ловко орудуют нынешние-то молодые. Еще материно молоко не обсохло на губах, а уж он расширился.

— Твой-то Тихон Иваныч далеко пойдет, — говорили старику Ивану Герасимовичу. — Хватка у него мертвая, как у хорошего волка... И при этом великая жадность на все. Все ему мало... Недавно что он сказал одному старичку: «Потуда, грит, и купец, пока в ём эта жад-

ность»... Ей-богу!.. И раньше это случалось, только не говорили всего своими словами. Случалось и не без греха, а только каждый про себя грех-то свой знал... А тут: на, смотрите все, каков я есть человек.

Судачившие старички напрасно старались припомнить, чтобы в их время было что-нибудь подобное. Бывали, конечно, разные слухи, а только то, да не то. А тут еще пошли слухи о железной дороге, которая должна была пройти как раз через Казачинск. Это уж выходило совсем несообразно ни с чем.

— И для чего нам эта самая чугунка? — роптали старички. — Слава богу, жили без чугунки не хуже других...

— Сказывают, эта самая чугунка все как метлой подметет: и сальце, и маслицу, и шерстку, и сметанку, и главное — весь хлебушко слопает.

— Уж это известно... И в газетах все давно описано. Отец протопоп рассказывал...

— А молодые-то радуются, по глупости, конечно. Тот же Тихон Иваныч вот как нагреет руки около этой самой чугунки. У него ушки на макушке... Подряды какие-то затевает, по-

том проезжающие номерки хочет строить, потом в городские головы метит попасть...

— От него сбудется. Увертлив уродился...

— Вот таким-то все это на руку. Хлебом не корми...

Иван Герасимович сначала судачил вместе с другими стариками, а потом вдруг замолчал. Все говорят, а он сидит и молчит.

— Иван Герасимович, да скажи что-нибудь? — уговаривали его старые приятели. — О чем раздумался-то? Вот твой-то Тихон Иваныч, сказывают, несостоятельность хочет устроить и нарочно к адвокату ездил, который этими самыми делами занимается. «Пожалуйте на чашку чаю», — и конец тому делу. За рублик-то и получай любую половинку, а то и поменьше... Нынче это даже весьма просто. Всякий желает капитал нажить.

Иван Герасимович продолжал молчать и только загадочно улыбнулся. Всем сделалось ясно, что старичку что-то вступило в голову, и его оставили в покое.

Они были правы. У Ивана Герасимовича, действительно, явились свои мысли. Он даже по ночам не спал и все думал.

— Нет, довольно!.. — повторял он, споря с каким-то — неизвестным противником. — Одним словом, будет... И железную дорогу хочешь слопать, и шубу выворотить, и городским головой быть, — нет, брат, шалишь!.. Мы еще укоротим тебя, добра молодца, и в оглобли заведем и хвост муфтой подвяжем в лучшем виде. Силов моих больше не стало терпеть... Стой, Тихон Иваныч, и не моги дышать!

В один прекрасный день, надев праздничный длиннополый сюртук и замотав по старинной моде шею черней атласной косынкой, Иван Герасимович отправился к сыну, в каменный дом, где уже не бывал давненько.

— Ах, тятенька, в кои-то веки собрались, — запел Тихон, делая сладкое лицо. — И при всей форме...

— Дело есть... надо поговорить с тобой... — довольно сурово ответил старик. — Да... Хочу тебя уничтожить, — весь тут сказ. Будет мне дурака валять и добрых людей смешить. Все мое, а ты как знаешь...

— То есть как ваше, тятенька?

— Не о чем нам с тобой разговоры разгова-

ривать. Сказано: все мое. Выезжай из дому, одним словом...

— Помилуйте, тятенька, да ведь вы же своими руками при собственной живности передали мне все по форме. Я и держу-то вас в сарайной только по милости... Ей-богу-с! Спросите кого угодно...

Иван Герасимович ничего не отвечал, а только повернулся и ушел.

Потом он побывал и у заседателя, и у протопопа, и у исправника, и везде объявил о своем — намерении опять вступить в дела, а сына Тихона прогнать. Старику показалось, что его слушают будто не так, как следует, и во всем соглашаются, как с маленьким ребенком.

— Да, да... — шамкал старичок-протопоп. — Оно, конечно, хотя во всяком случае, несмотря на сие...

Исполнив все, как следовало, Иван Герасимович вернулся к себе в сарайную совершенно успокоенный. Вечером он сидел за самоваром и с особенным удовольствием попивал чай с малиновым вареньем. Именно в этот блаженный момент раздался осторожный

стук, и в дверях показалась голова Тихона.

— Тятенька, можно к вам?

Не дожидаясь позволения, в комнату вошли протопоп, исправник, заседатель и старичок-доктор. Они поздоровались и чинно уселись по местам. Тихон остался у дверей, точно боялся, что отец убежит.

После некоторых пустых разговоров доктор надел золотые очки и проговорил деловым тоном:

— Ну-ка, ангел мой, Иван Герасимыч, покажи язык.

В первую минуту Иван Герасимович совершенно растерялся, а потом сразу все понял. У него мороз пробежал по спине. Старик забормотал что-то совсем несвязное, а гости переглянулись между собой.

Через месяц Иван Герасимович был объявлен страдающим старческим слабоумием. Тихон пришел к нему в сарайную, погрозил пальцем и проговорил:

— Теперь уж вам, тятенька, полагается одна постная пища... да-с. Для души даже весьма пользительно. Мы еще сот двух таких же старичков устроили.

Ночевка

I

— А где мы в Челябе остановимся? — спрашивал я своего кучера Андроныча, когда сквозь мягкую мглу летней ночи глянули на нас первые огоньки городского предместья.

— Да сколько угодно местов, — уверенно ответил Андроныч. — Прежде-то я на постоялом у Спирьки останавливался, а то еще старуха Криворотиха принимает проезжающих. Я эту самую Челябу, может, разов с десять проехал.

— Поезжай, где лучше. А то нет ли гостиницы или номеров?

— Ну, насчет проезжающих номеров шабаш: и в заведении этого нет. У знакомых больше останавливаются... В лучшем виде к Спирьке на постоялый подкатим.

Я находился в отличном расположении духа. Последняя станция от Токтубаевской станицы к городу Челябинску (Оренбургской губернии) представляла собой что-то необыкновенное, точно мы целых тридцать верст еха-

ли по широкой аллее какого-то гигантского парка. Колеса мягко катились по утрамбованному песчаному грунту, кругом две зеленые стены из столетних берез, чудный летний вечер — одним словом, что-то уж совсем фантастическое, и я не знаю в Зауралье ни одной такой станции. Лошади бежали с необычной быстротой и тоже находились, видимо, в прекрасном расположении духа, что с ними случалось нечасто. Одним словом, станция промелькнула, как сон, а впереди сладко грезился удобный ночлег.

— Эй, шевели бородой! — покрикивал Андроныч на свою пару, прибавившую в виду станции прыти. — Помешивай!

Вообще мы въехали в Челябинск с большим шиком, как, вероятно, ездит только местное начальство. Маленький степной городок уже спал, несмотря на то, что было ровно десять часов. Мы промчались по одной улице, повернули в какой-то переулок и вдруг остановились на какой-то площади.

— Вот те и раз! — вслух удивился Андроныч, почесывая затылок. — То ли переезжать реку Мияс, то ли нет...

— Поезжай к Спирьке...

— Да вот то-то и есть, што забыл я, где он живет: на этой стороне али за Миясом...

— Ну, так к Криворотихе ступай! — К Криворотихе-то ближее, да только..

Новое чесание затылка и неопределенный звук удивления. Одним словом, мой Андроныч оказался вороной и больше ничего. Недалеко от нас проходили какие-то молодые люди, видимо, гулявшие, и я спросил их, как проехать к постоялым дворам.

— За Мияс ступайте, — ответил в темноте молодой голос.

— Конечно, за Мияс, — сердито заворчал Андроныч. — Рази без него не знаем.

Спросить дорогу для Андроныча было смертной обидой, и он сейчас же впадал в самое мрачное настроение. По этому поводу у нас было уже несколько столкновений.

— Поезжай за Мияс, — повторил я, чтобы поддразнить Андроныча. — Туда же, хвастается: «Я проезжал Челябу»...

Андроныч угнетенно молчал и так тронул вожжами, что лошади поплелись нога за ногу, точно пьяные. Мы проехали мимо ка-

ких-то лавок, потом по большому мосту через Мияс. Эта великолепная степная река катилась здесь широким разливом, оживляя небольшой степной городок. Челябинск славится как хлебный центр. Степной хлеб отсюда идет на горные заводы. За мостом опять начиналась какая-то площадь и ряды деревянных лавчонок. По всем признакам, это был хлебный рынок.

— Ну, куда теперь? — спрашивал я.

— А вот тут и есть, у самого базара... — неохотно ответил Андроныч, находившийся под впечатлением обиды. — Переулок будет сейчас направо: тут и Спирька.

Не доезжая переулка, я заметил на воротах вывеску «Постоялый двор» и велел остановиться. Делал я это назло Андронычу, чтобы не ехать к его Спирьке. Вылезши из экипажа, я подошел к запертым воротам и принялся стучать в них. Где-то брехнула собака и смолкла. На улицу рядом с воротами выходил какой-то флигелек, но, очевидно, он пустовал. Главнее жилье стояло где-то в глубине двора. Я стучал битых минут десять и не добился ничего, точно постоялый двор был заколдован

или весь вымер. Андроныч торжествовал, наблюдая мои бесплодные усилия.

— Ежели бы, например, чрез ворота... — посоветовал он ядовито.

— Ступай сам через ворота, дурак, — обругался я, усиливая стук.

Еще бесплодных пять минут, и я плюнул.

— Спят, как зарезанные, — ворчал Андроныч.

— Ступай к Спирьке...

— Вот тут, сейчас за углом... Такой низменный дом пятистенный.

Мы завернули за угол и остановились у пятистенного деревянного дома, точно вросшего в землю. Я остался в экипаже, предоставив Андронычу проситься на квартиру.

Он уверенно спустился с козел, захлестнул вожжи к сиденью и, не торопясь, своей развалистой походкой направился к воротам. Последние, конечно, оказались запертыми. Андроныч презрительно толкнул их ногой, прислушался и, плюнув, пошел к окну. Началось осторожное постукивание в стекло. И этот дом оказался выморочным, как мой постоялый двор.

— Стучи сильнее... — посоветовал я. — А то через ворота полезай. Спирька проснется и в шею тебе накладет...

Андроныч по очереди перебрал все окна и даже припадал ухом, стараясь уловить ответное движение; наконец где-то послышался старческий голос, спрашивавший, кто стучится.

— Пусти переночевать, Спиридон Егорыч...

— Какой Спиридон Егорыч? Никакого тут Спиридона нет...

— А постоялый кто держит? Прежде Спиридон держал...

— Был и Спиридон, да вышел: три года, как помер.

Маленькое окошечко отворилось, и показалась старушечья голова.

— А я думала, обоз пришел... — недовольным тоном проговорила она.

— Да ведь деньги-то одинаковые, что с нас, что с обоза, — заспорил Андроныч, задетый за живое.

— Много с вас денег возьмешь, с одной-то подводы, — ворчала старуха. — А беспокойства не оберешься... Савельюшко, вставай!..

— Старая крымза[316]! — обругался Андроныч вполголоса.

В отворенное окно было слышно, как шлепали босые ноги, беззубый старушечий шепот и возгласы: «Савельюшко, да вставай же! Где у нас спички-то?.. Савельюшко!» Неизвестный Савельюшко, очевидно, спал, как зарезанный, и не подавал признаков жизни. Старухе надоело его будить, и она принялась сама разыскивать спички, охая и причитая.

— Да вот тебе спички, бабушка, — заговорил Андроныч, подавая спички в окно, — Да шевелись поскорее... Кони пристали, и барин вон спит в повозке.

В избе затеплился огонек, и поднялись новые оханья и причитания. Андроныч плюнул от нетерпения и пошел к воротам. Старуха долго возилась около засова и едва его вытащила. Старые ворота с покосившимися полотнищами распахнулись, как беззубый рот, и моя повозка въехала наконец во двор. На улице и по тракту стояла пыль столбом, а во дворе была такая грязь, точно мы заехали в болото. Даже лошади остановились, увязнув по колено в навозе.

— Куда это ты меня завез? — накинулся я на Андроныча. — И лошадей утопил, и экипаж не вытащить...

— Да они, подлецы, сроду не чистили двора-то! — ругался, в свою очередь, обозлившийся Андроныч. — Прямо, как помойная яма...

Он сдернул с крыши громадного навеса драницу и бросил ее мне, чтобы перейти от засевшего в навозе экипажа в избу. Воздух был невозможный. Я кое-как перебрался на крылечко и вошел в низкую избу, такую грязную, что страшно было сесть на лавку. Старуха сидела у стола и дремала. Оплывшая сальная свечка горела около нее в облепленном разной гадостью железном подсвечнике. Я с тоской оглядел всю избу, напрасно отыскивая уголок, где бы можно было прилечь.

— А я думала, обоз пришел... — ворчала старуха.

— Да ведь ты видела, бабушка, что не обоз, так о чем тут разговаривать. Нельзя ли самоварчик...

— Ну вот, ставь еще самовар вам... Ежели бы обоз... беспокоят добрых людей... Обоз-

ные-то сколько одного сена возьмут, овса, а то один самовар...

— Не буду же я есть сено для твоего удовольствия!..

Пока мы так перекорялись со старухой, в дверях показался Андроныч, и я опять накинулся на него.

— Куда ты меня завез, Андроныч?.. Разве можно ночевать в этой помойной яме?

— И ступайте с богом, откудова приехали... — ворчала старуха. — Самовар еще вам ставь... Спирьку спрашивают, а Спирька три года, как помер.

Между старухой и Андронычем завязался довольно оживленный диалог, закончившийся настоящей ссорой. Ничего не оставалось, как убираться из этой проклятой помойной ямы, в которой мы потеряли битый час.

— Ну, Андроныч, ты выезжай на улицу, а я пойду сам отыскивать квартиру, — решил я.

— Вот язва сибирская! — ругался Андроныч.

— Ах ты, гужеед! — ругалась старуха.

II

Оставив Андроныча ругаться со старухой,

я отправился разыскивать квартиру. О тротуарах, конечно, не было помину, и, чтобы не сломать шею, я отправился срединой улицы. Но и дут приходилось постоянно натыкаться на какие-то камни, точно их подкидывала мне под ноги какая-то невидимая рука. Раза два я делал отчаянные курбеты, как лошадь на скачках с препятствиями. Как на грех, ночь была темная, а фонарей не полагалось, как и тротуаров. Я брел по улице буквально ощупью, высоко поднимая ноги и ощупывая каждый раз место, на которое ставил ногу. Как ездят по такой проклятой дороге? В душе у меня закипело озлобление. Вот уже целый час потерял... Точно в ответ на мои мысли, в десяти шагах от меня тонко зазвенела чугунная доска ночного сторожа. Это был спасительный, братский призыв погибающему...

— Эй, сторож, где ты? — обратился я к окружающей тьме.

— Я здесь... — ответил невидимый голос совсем близко.

— Вот что, голубчик, где бы найти квартиру, — взмолился я. — Мне только лошадей поставить, а спать я буду в экипаже...

— Да вот сейчас... У Перфенаго постоялый двор, вот за углом.

— Да нас старуха выгнала оттуда...

— Ах язва!.. Ну, так вот сюда пожалуйте...

Приглашавший меня голос показался мне необыкновенно симпатичным, а в уме мелькнула торжествующая мысль: вот ужо я покажу дураку Андронычу, как ищут квартиры!

— Сюда, сюда... — манил меня сторож. — Тут канавка, так вы осторожнее...

Я перебрался через канавку и чуть не стукнулся лбом) в забор. Старичок-сторож сидел на приступке какой-то деревянной лавчонки. Я готов был обнять его, как Робинзон обнимал Пятницу.

— Бог с ней, со старухой, — успокаивал меня сторож, поднимаясь. — Известно, баба — разве с ней сговоришь... А постоялый двор Уксенова вот сейчас.

— Где?

Сторож подошел к забору и стукнул в него: «здесь». «Отлично, а мой Андроныч еще раз дурак...»

— Да я сам разбужу Уксенова, — вызвался сторож и на мгновение исчез в какой-то ще-

ли, отделявшей лавку от забора.

Я слышал, как он завяз где-то в досках и царапался ногтями, как кошка. Потом послышался угнетенный вздох, и из щели ответил знакомый голос:

— Ах, прах его побери!.. Раньше-то в заборе доска одна выпала, собаки лазили, ну, я и думал пролезть в дыру-то. Ах ты, грех какой, подумаешь...

Старик с трудом вылез из щели и сейчас же дал совет:

— Вот што, барин... Сейчас, значит, вы обогнете лавку, потом все вправо, вправо, и сейчас, например, новые ворота: это и есть самый Уксенов. Новые ворота... все направо...

— А собак нет около лавок?..

— На цепях собаки-то, а ты все, напримерно, вправо забирай... Рукой подать.

Нечего делать, пришлось воспользоваться этим коварным советом, в чем я так быстро раскаялся. В провинции все лавки и торговые помещения оберегаются злющими псами, и поэтому я старался идти самой серединой прохода между лавками, забирая вправо. Это было довольно рискованное путешествие, по-

тому что с обеих сторон визжали блоки, гремели железные цепи, и на меня с удушливым лаем бросались нарочито обозленные торговые псы. «А что, если порвется цепь или лопнет блок?.. Нет, лучше не думать...» Еще раз направо, и желтым пятном смутно обрисовались новые ворота. Ну, слава богу! Только я сделал несколько шагов к воротам, как мне навстречу грянул громадный пес, коварно сторожившийся меня. Что произошло дальше, я плохо отдаю отчет. Конечно, я бросился бежать, подгоняемый удушливым лаем гнавшегося по пятам цербера. Где я бежал и как спасся от зубов челябинского злейшего пса, не помню, но только я в конце концов очутился опять на той же улице, по которой шел раньше. Я узнал ее по камням. Возвращаться к коварному сторожу, пославшему меня на растерзание, конечно, не стоило, и я уныло поплелся по улице вперед. От необычно быстрого бега просто дух захватывало, и я ругал опять Андроныча вместе с проклятой старухой, проклятым сторожем и проклятыми торговыми псами.

Надежда не оставляет человека, как из-

вестно, до последнего момента, и я рассчитывал найти постоялый двор: Колумб открыл Америку, а не найти постоялого двора — стыдно.

— Эй, кто идет?..

Предо мной вырастают неожиданно три всадника, как в романе Майн-Рида. О, это был ночной обход и мое спасение! Я объяснил свое общественное положение и причины, заставившие блуждать ночью по незнакомой улице. Строго спрашивавший голое объездного казака проговорил самым добродушным тоном:

— Да вот здесь можно ночевать... Вот дом строится.

— Мне только лошадей поставить, а сам я усну в экипаже, — повторил я стереотипную фразу таким жалобным голосом, точно оправдывался.

— Да и искать было нечего: вон он, постоялый... — внушительно и добродушно повторяет объездной. — Эй, сторож!..

Около ближайшего забора что-то завозилось, а потом спросонья сторож ударил в доску.

— Ах, баранья голова!.. — обругал казак. — Вот господин проезжающий ищет, где остановиться, так ты тово, проводи к Афоне.

Стороне бросил свою доску и обнаружил необычайную подвижность: забежал к воротам, постучал, потом заглянул в окно строившегося нового доме и тоже постучал и кончил тем, что отодвинул какую-то доску в заборе и уполз собачьим лазом.

— Ну, теперь он вас устроит, — отечески проговорил казак, отъезжая.

— Спасибо... Увидите экипаж, так посылайте сюда.

Объезд удалился, а я остался у ворот в сладком ожидании, что здесь наконец завершатся мои челябинские злоключения. Слышно было, как сторож босыми ногами прошлепал через весь двор, поднялся по какому-то крылечку и необыкновенно ласково заговорил, постукивая в дверь:

— Афоня... отворись, голубчик!.. Афонюшка, милый, будет спать-то... Афоня!..

Сторож модулировал свою нежность на все лады и просился таким умильным голосом, точно хотел проникнуть по меньшей ме-

ре в царство небесное.

— Афанасьюшко, голубчик!.. Афоня... Ах, Афоня!..

На эти умильные возгласы дверь наконец растворилась, и начались предварительные переговоры. «Да кто едет-то?.. Разве не стало других постоялых дворов?» Впрочем, этот Афоня оказался очень сговорчивым мужчиной и сам вышел отворить мне ворота. Это был среднего роста плечистый мужик с окладистой русой бородой и удивительно добродушным русским лицом. Он осмотрел меня и проговорил:

— Давно бы вам ко мне приехать... Места на двести возов хватит. Самоварчик прикажете соорудить?

— Пожалуйста...

Отрядив сторожа навстречу Андронычу, я наконец вздохнул свободно, как пловец, попавший в тихую пристань. Часы показывали половину первого, так что поиски ночлега продолжались «битых» два с половиной часа... Афоня оказался большим хлопотуном и принялся ставить самовар, пока я отдыхал, сидя на крылечке. Пока я рассказывал ему о

своих поисках, он смеялся таким тихим, хорошим смехом и все приговаривал:

— Ну вот... Все с курицами спать ложатся у нас, такое уж заведенье. И на город не походит...

Когда Андроныч торжественно въехал во двор, самовар уже был готов и шипел с таким отчаянным усердием, точно его поставили в первый раз.

— Ну и старуха! — ворчал Андроныч, откладывая лошадей. — Настоящая купоросная кислота...

Пока строился дом, Афоня перебивался в небольшом флигельке, который и предложил в полное ваше распоряжение, даже вместе с какой-то девицей, спавшей посреди пола в довольно откровенной позе. Афоня прикрыл ее каким-то халатом. Напиться чаю с дороги — это удовольствие понятно только для людей, которым приходится делать тысячи верст на лошадях. Но и это невинное удовольствие для меня было отравлено мухами, которых оказались целые полчища, как только внесли огонь. Они самым нахальным образом облепили стол, хлеб, сахар, кринку с молоком, лез-

ли в рот, падали в горячий чай, и вообще получался какой-то мушиный шабаш. Пока несешь стакан с чаем, в него мухи валились буквально десятками... Никогда, ни раньше, ни после, я не видел ничего подобного и выразил невольное удивление незлобию Афони, который мог жить в таком улье.

— Вы бы их истребляли чем-нибудь... — посоветовал я.

— Пробовал изводить, да не помогает, — ответил Афоня. — Вот зима придет, так и мухам: конец.

Оставаться спать во флигеле нечего было и думать. Я отправился в свой дорожный тарантас. После всех тревог этого испорченного вечера так приятно было отдохнуть. Небо на востоке уже светлело. Ночной холодок заставлял так сладко вздрагивать и еще крепче кутаться в дорожное одеяло. Где-то далеко пробило два часа, и на улицах зазвонили чугунные доски. Я заснул сейчас же настоящим челябинским мертвым сном. Но не больше как через час был разбужен Андронычем, который застучал дверью.

— Ты это что?

— Да в горнице лег спать... ну, только и Афоня: настоящее муравьище развел у себя — и клопы, и блохи, и тараканы, и мухи. Точно в крапиве проснулся...

Андроныч неистово чесался, дергал головой и обругал еще раз всю Челябу.

Друзья детства

I

Авдей Семеныч Гаряев волновался сегодня вдвойне. Первое волнение носило общий характер, — старик волновался каждую весну, когда открывалась навигация. Он сегодня нарочно поднялся пораньше, чтобы полюбоваться из окна своего кабинета, как побегут по Фонтанке первые пароходы. Открывавшаяся навигация производила на него хорошее и вместе грустное впечатление, потому что с ней для него неразрывно была связана мысль о далекой-далекой сибирской родине. Зима надолго разлучала Сибирь со всем остальным миром, а когда «проходили реки» — она точно делалась ближе. Конечно, теперь уже проведена великая сибирская железная дорога, но по старой привычке Авдей Семеныч все-

таки волновался, глядя из своего окна на шнырявшие по Фонтанке финляндские пароходики. Он приехал в Петербург молодым, кончил университет, поступил на службу, да так и застрял здесь навсегда. Сначала держала служба, хотя он поступил «пока», чтобы вернуться на родину с некоторым служебным положением, потом он женился на девушке из петербургской чиновничьей семьи, которая не могла себе даже представить, что можно жить где-нибудь, кроме Петербурга, наконец появились дети и т. д. и т. д. Жизнь прошла как-то незаметно, хотя Авдей Семеныч и не расставался с заветной мечтой когда-нибудь уехать на родину, и уехать навсегда. Вот откроется такая навигация, он и махнет в Сибирь со всем своим чиновничьим гнездом. Дети уже подросли, и им следует посмотреть, как живут настоящие люди и что такое настоящая жизнь.

«Да, пусть молодежь послужит Сибири, — любил думать Авдей Семеныч. — Кока будет врачом, Павлик юристом, Серж инженером, а Игорь... Ну, этот еще мал, из него икона и лопата еще может выйти, как у нас говорят в

Сибири».

Будущая участь в Сибири единственной дочери Милочки пока еще оставалась невыясненной. Девушка пробовала учиться на курсах, но из этого ничего не вышло, потом такая же история была проделана с консерваторией, а сейчас Милочка мечтала о карьере актрисы.

Вторую причину сегодняшнего волнения Авдей Семеныч держал в руках. Это была телеграмма друга детства Прохора Козьмича Окатова, который извещал из Москвы, что будет в Петербурге утром, с курьерским поездом. Авдей Семеныч перечитывал эту телеграмму и счастливо улыбался.

— Вот ведь что придумал старик, — думал он вслух. — Никогда не бывал в столицах и вдруг: «буду с курьерским поездом». Как Леля будет рада... да. Она его отлично знает по моим рассказам. Как же, вместе в школе учились, вместе голодали...

В гостиной, куда выходила дверь кабинета, горничная вытирала пыль; Авдей Семеныч несколько раз показывал свою голову и получал довольно сухой ответ;

— Барыня еще спят...

— Гм... да...

Было еще рано, а барыня Елена Павловна по-петербургски вставала поздно. Авдей Семеныч морщился и опять возвращался к своему окну.

«А ведь Прошка теперь старик, — продолжал он думать, припоминая портрет друга детства. — Оброс бородой, потолстел, поседел...»

Сквозь призму сорокалетней разлуки он видел кудрявого мальчика с задорно вздернутым носом, скуластого и с вечной улыбкой на губах. Какой он сейчас, — портрет, конечно, мог дать только приблизительное понятие.

Пробило девять часов. Терпение Авдея Семеныча истощилось, и он отправился в спальню к жене. Она имела привычку, проснувшись, лежать в постели, а потом мылась целых два часа, так что выходила к утреннему чаю только в одиннадцать. В собственном смысле чая она не пила, а только кофе, как и все дети. Авдей Семеныч шел к жене с некоторым страхом, потому что она не любила, когда ее тревожили утром. Но дело

было особенное, и ему необходимо было переговорить с ней.

— Можно войти, Леля? — спросил он у дверей спальни немного виноватым голосом.

Ответа пришлось подождать. Елена Павловна встретила мужа довольно холодно, одним вопросительным взглядом.

— Леля, я... то есть видишь ли...

— Где-нибудь пожар? — перебила она его, кутаясь под шелковым одеялом до подбородка. — Вы врываетесь, Авдей Семеныч, в мою спальню с таким лицом, что... что...

— Ах, Леля, совсем не то! — взмолился Авдей Семеныч. — Ты помнишь Окатова?

— Которого сослали в каторгу?

— Ах, не то!.. Я тебе так много говорил о нем. Мы вместе росли с ним, вместе учились в школе, вместе голодали... да... И вдруг он едет к нам...

— То есть как к нам?

— То есть в Петербург, — поправился Авдей Семеныч, сдерживая радостное волнение. — Ты знаешь, как я его люблю... Сорок лет не видались... да... Таких людей больше нет и на свете, Леля.

Елена Павловна отнеслась к этому известию совершенно равнодушно и даже как будто была недовольна. Ох, уж эти сибирские друзья детства... Тащатся в Петербург за тридевять земель неизвестно зачем. Авдей Семеныч вдруг почувствовал себя виноватым, как это с ним случалось в присутствии жены нередко.

— Да, так я того, Леля... гм... — бормотал он, глядя на часы. — Мне нужно торопиться на вокзал...

— Скажите, пожалуйста, какие нежности!.. Я предчувствую, что ты его притащишь к нам, и предупреждаю вперед, что совсем этого не желаю. У нас не постоялый двор...

Радостное настроение Авдея Семеныча как-то сразу погасло. Ведь он уже вперед уступал гостю свой кабинет. Пусть бы пожил, недельки две можно было бы и потесниться. Но у Елены Павловны были специально петербургские нервы, и она не выносила присутствия постороннего человека в своем доме. И спорить с ней на этом основании было невозможно, а только приходилось соглашаться, как и в данном случае.

Из дому Авдей Семеныч выехал огорченный, а тут еще и извозчик попался скверный. Едва-едва поспели к поезду. Авдей Семеныч торопливо бежал по платформе, вглядываясь в лица пассажиров, мелькавшие в окнах. А если он не узнает Окатова и тот с вокзала отправится с багажом прямо к нему? Но последнего не случилось. Из вагона третьего класса грузно выкатилась какая-то меховая масса. Это и был Окатов, одетый в две шубы. Друзья детства узнали друг друга почти сразу...

— Авдей Семеныч...

— Прохор Козьмич...

Друзья расцеловались, а потом начали удивляться, как оба постарели. Окатов оброс бородой до самых глаз, и прежними оставались одни глаза. Гаряев имел наружность типичного петербургского чиновника.

— Да, брат, вот как оба постарели, — громко говорил Окатов, крепко пожимая руку старого друга. — А ты — настоящий питерский чинодрал... ха-ха... Поди, и чин действительного статского советника имеешь?

— Около того... Вот что, Прохор Козьмич, мы напьемся чаю здесь, на вокзале, и побол-

таем... А дома у меня жена не совсем здорова...

Авдей Семеныч лгал, не моргнув глазом. Окатов только посмотрел на него и что-то пробормотал себе под нос.

II

Друзья детства прошли в буфет и предались чаепитию, причем Окатов пил с блюдечка и вприкуску. Он раскраснелся и постоянно вытирал лицо каким-то бабьим платком с пестрыми разводами.

— Да, Авдей Семеныч, того... — повторял он, отдуваясь и чмокая. — Порядочно-таки воды утекло... Скоро и помирать придется.

Авдей Семеныч терпеть не мог разговоров о смерти и только морщился. Между прочим, он дипломатически ввернул в разговор, что есть очень удобные и недорогие меблированные комнаты, в которых можно будет устроиться на время. Когда Окатов посмотрел на него прищуренными глазами, он немного смутился и перевел разговор на общих сибирских знакомых. Представьте себе, семья Корчагиных вся вымерла, Егор Коротких два раза овдовел, Чикалевы разорились, Мишка Коло-

тилов разбогател, разорив всю родню, и т. д. В общем, веселых вестей было мало...

— Все, брат, у нас по-новому пошло, — объяснял со вздохом Окатов. — Старики повымерли, теперь наша очередь, а что из молодых выйдет — еще на воде вилами писано...

— Ну, а железная дорога?

— Что дорога... Голод она нам привезла — вот тебе и железная дорога.

— Это ты напрасно, Прохор Козьмич... Железная дорога — великое дело. Теперь по всей-то Сибири пять — шесть миллионов населения, а будет пятьдесят. Одним словом, идет к вам цивилизация..

— Вот она где нам, ваша-то цивилизация, — проговорил Окатов, указывая на свой широкий красный затылок. — Коснулась она нас даже очень. И какого только народа ни наехало, а скоро и нам житья не будет. Да вот я вылез из своей берлоги, чтобы похлопотать в Питере кой о чем. Дела, братец ты мой...

Авдей Семеныч облегченно вздохнул, когда водворил друга детства в меблированных комнатах на Лиговке. Про себя он даже согласился, что жена права, не желая принимать

сибиргостя к себе в дом. Одни сибирские шубы чего стоили, а потом эти ужасные мешки вместо чемоданов, точно у переселенца. Совестно было бы перед собственным швейцаром. Наконец, Окатов делал все так громко: стучал ногами, двигал стулом, хохотал, сморкался. Петербургский чиновник начинал чувствовать себя в его присутствии каким-то больным человеком, как расколотая посуда, которая дребезжит, когда хлопнут дверью.

— Я, брат, теперь завалюсь спать на двои сутки, — объяснил Окатов на прощанье. — Надо отоспаться... Ведь целых двенадцать дён не спал ка железной дороге. Так, как заяц, закроешь один глаз и лежишь всю ночь, настоящего сна ни-ни!

Окатов сдержал свое слово, проспал «двои суток» и явился с визитом к Гаряевым только на третий день. Он принес прямо в кабинет небольшой деревянный бочонок и какой-то таинственный сверток, заделанный в рогожку. Авдей Семеныч очень обрадовался ему, а Елена Павловна приняла его довольно сдержанно.

— Я так много слышала о вас от мужа, —

проговорила она как-то особенно кисло.

— Ну, это он напрасно, — ответил Окатов. — Не велика птица, о которой стоит говорить... А вот я вам, сударыня, привез сибирских гостинцев: в бочонке соленые омули, а тут бутылки с наливкой из облепихи. Моя баба отлично делает наливки...

Елена Павловна при слове «моя баба» поморщилась, а Гаряев радостно заметил:

— Омули? Ах, вот это отлично... Леля, облепиха — это наша сибирская ягода, которую называют сибирским ананасом. Спасибо, Прохор Козьмич... Из омулей мы устроим сибирский пирог... да?

Гость довольно бесцеремонно осмотрел всю квартиру, удивился ее цене и все покачивал головой.

— Да, по-барски живете...

— Нельзя, Прохор Козьмич, от других отставать, — точно извинялся Авдей Семеныч. — Я, собственно говоря, не люблю все эти обстановки... гм... да...

— Пыли много наберется, — согласился Окатов.

Елена Павловна была недовольна, что

гость явился с первым визитом прямо к обеду, точно не мог выбрать другого времени. Она дала понять это мужу без слов, и петербургский муж принял виноватый вид.

За обедом собралась вся семья, и все смотрели на сибирского гостя, как на заморского зверя. Кока шепнул Милочке:

— Обрати внимание, какой у сибирского друга красный нос... -.

— Мне кажется, что он вот-вот подкрадется с пальцем к собственному носу... — ответила Милочка, принимая по-институтски невинный вид.

— Я тоже подозреваю, что он имеет довольно смутное представление об употреблении носовых платков... Это открытие цивилизации еще не дошло до Сибири, как употребление мыла и ножниц.

Молодые люди шептались довольно невежливо и сдерживали смех. А гость ничего не замечал и держал себя довольно развязно. Он громко захохотал, когда горничная подала маленький графинчик водки и какую-то ликерную рюмочку.

— Я, Прохор Козьмич, ничего не пью, —

объяснил Авдей Семеныч.

— А я все пью, Авдей Семеныч... Только не найдется ли у тебя рюмки побольше?

«Он напьется и устроит какой-нибудь скандал», — решила Елена Павловна, с ужасом наблюдая, как гость хлопнул две рюмки.

— По-нашему, по-сибирски, сударыня, между первой и второй рюмкой не дышать, — объяснил Окатов, прожевывая кусок селедки. — Да-с... А вот скоро у нас введут в Сибири винную монополию, водка будет дешевая.

Хлопнув Авдея Семеныча по коленке, Окатов прибавил:

— Как ведро водки выпьем, так рубль двадцать копеек в кармане... Ха-ха!..

— Сибирская политическая экономия, — шепнул Павлик Милочке. — И очень просто...

А гость продолжал ничего не замечать, даже когда Кока довольно ехидно его спросил:

— Прохор Козьмич, а вы умеете закусывать водку живой рыбой?

— Даже отлично... Спросишь живую стерлядку, графинчик водки и закусываешь.

— Живой стерлядью? — с ужасом спросила

Елена Павловна.

— Да... Ломтиками ее нарежешь, перчиком посыплешь, солью — и отлично.

— Это ужасно...

— Нисколько, сударыня. Ведь едят же живых устриц...

Выпив графинчик, Окатов раскраснелся и окончательно повеселел. Когда подали рыбу, он опять осрамился, потому что начал ее есть с ножа. Елена Пазловна старалась не смотреть на него, а Милочка убежала из-за стола, чтобы отхохотаться в коридоре. Но там вышла новая беда: в коридоре Милочку остановила горничная Маша и шепотом проговорила:

— И что только будет, барышня...

Что случилось?

Горничная фыркнула, закрыв рот из вежливости ладонью, и объяснила:

— Бочонок-то, который гость привез, мы поставили в кухню, а от него такой дух пошел... С души прет!..

— Ну, это дело мамы...

А в столовой друзья детства предавались своим воспоминаниям, которым не было кон-

ца. Окатов после двух — трех фраз повторял:

— Авдей Семеныч, а помнишь, как мы с тобой голодали? Ах, как жрать хотелось... Смерть! Одежонка плохонькая, сапоги дырявые, брюхо пустое... А тут еще дерут и за букву ять, и за латинские спряжения, и за пение на гласы. Ох, как драли... Из своей кожи готов выскочить, — вот как драли, сударыня. Зато теперь уж нас ничем не проймешь, как дубленую кожу, которая не боится ни дождя, ни холода, ни жара.

III

Окэтое был еще несколько раз у Гаряевых, а потом сразу прекратил посещения. Это очень огорчало Авдея Семеныча, хотя дома он и не решался высказать своих мыслей открыто. Очевидно, сибирский друг детства догадался, что он является в обстановке петербургской чиновничьей семьи и лишним и смешным. Это мучило Авдея Семеныча, как всякая несправедливость. Сибирские омули были выброшены в помойную яму, а о наливке из облепихи Серж сказал, что она пахнет кошачьими хвостами. Эта выходка взорвала Авдея Семеныча, и он «сделал сцену».

— Как ты смеешь так говорить, щенок? — накинулся он на Сержа. — Что ты понимаешь, кроме ресторанов? Ты просто погибший ресторанный человек...

За Сержа вступилась Елена Павловна, и разыгралась целая семейная история.

— Вы все ничего не понимаете! — кричал взбешенный Авдей Семеныч. — Вы все — дармоеды и нахлебники. У нас ни у кого живого места нет, и поэтому свежий настоящий человек производит впечатление какого-то монстра.

Конечно, Авдею Семенычу за свою выходку пришлось просить потом прощения у Елены Павловны. Впрочем, она поняла, что нужно держать себя с сибирским другом детства вежливее, и сделала детям строгий выговор. Между прочим, она открыла, что муж потихоньку бывает у Окатова и тщательно это скрывает. Задето было женское любопытство. О чем они могли говорить и что могло их связывать? Видимо, Авдей Семеныч чем-то тревожился.

— Отчего твой друг перестал бывать у нас? — спрашивала Елена Павловна мужа. —

Может быть, он чем-нибудь обиделся?..

— Нет... гм... Зачем ему у нас бывать?

— Мне кажется, что мы его принимали как следует и я делала все, чтобы он чувствовал себя у нас, как дома.

Авдей Семеныч засмеялся, что с ним случалось очень редко.

— Зачем ему у нас бывать, Леля? Это вольный человек, из совершенно другого мира... У него свои интересы, свои понятия и взгляды. Ты думаешь, он не понял, как его вышучивали наши милые молодые люди? Очень даже понял, хотя и не говорил ничего мне. Я знаю только одно, что он жалеет меня...

— Он?... тебя?!.. Этот... этот...

— Не договаривай, пожалуйста... Он для тебя «этот», а для меня... гм... Нет, ты не поймешь меня, Леля. Мы будем говорить на двух разных языках.

— Он смеет тебя жалеть?!..

— Представь себе, что смеет, потому что он прав... Да, прав... Разве это жизнь, как мы живем? Разве мы с тобой живые люди?

— Благодарю вас, Аздей Семеныч...

Елена Павловна даже прослезилась и де-

монстративно ушла в свою комнату.

Окатов прожил в Петербуфге около двух недель и как-то вдруг собрался домой. Он приехал прощаться в воскресенье утром, а не к обеду, как делал раньше. Авдей Семеныч понял, что старик догадался, как петербургские хозяйки не любят кормить лишнего человека.

— Да, брат, уезжаю, — говорил он, тяжело расхаживая по кабинету Авдея Семеныча. — Будет, всего насмотрелся. Пора домой...

— Да ведь ты хотел прожить здесь целый месяц? — уговаривал его Авдей Семеныч немного фальшивым тоном.

— Хотел к передумал...

Известие об отъезде сибирского друга детства так тронуло Елену Павловну, что она назначила даже завтрак на целых полчаса раньше. Это мог оценить только один Авдей Семеныч.

— Что же вы так рано нас оставляете, Прохор Козьмич? — говорила она с деланным участием. — Наш весенний сезон только что открывается... Посмотрели бы на наши острова, съездили бы в Павловск на музыку или на

Иматру... Загородные сады начинают открываться... Серж говорит, что будет хорошая оперетка...

— Нет, это нам не рука-с, сударыня, — довольно грубо ответил Окатов. — Пора в свою берлогу...

Улыбнувшись, он прибавил:

— Стар я стал и ничего вашего не понимаю... Вот хоть у вас: сидим за столом, полный порядок, а ежели разобрать, так все у вас какое-то игрушечное — не графин, а графинчик, не рюмка, а рюмочка, не чашка, а чашечка... Да и люди мне кажутся тоже как будто не настоящими, а так, как берут веши на подержание. Взять и Лвдея Семеныча — совсем он отстал от своего-то родного и даже разговора нашего сибирского не понимает.

— Ну, это ты уж напрасно, — обиделся Авдей Семеныч.

— А вот и не понимаешь! — спорил Окатов. — Вот переведи-ка на свой питерский язык: *лонись мы с братаном сундулей тенигусом хлыном хлыняли...* Ха-ха!..

— Да, пожалуй, и не понимаю, — согласился Авдей Семеныч. — Мудрено что-то...

— А дело очень просто: *недавно мы с двоюродным братом вдвоем ехали на лошади в гору...*

Сибирский язык произвел впечатление, и все громко смеялись, а громче всех сам Окатов.

— Это какой-то сибирский волапюк, — заметил презрительно Павлик.

— Что же, и за границей есть местные говоры, — объяснил Авдей Семеныч. — Прованс и Вандея, Бавария и Мекленбург почти не понимают друг друга.

Авдей Семеныч никогда ничего не пил, а тут назло жене выпил красного вина к несколько рюмок сибирской облепихи. Милочка не могла на него смотреть без улыбки. Какой папа смешной — весь покраснел, глаза сделались мутными, язык начал заплетаться. Окатов, кончив графинчик водки, хлопнул его по плечу и неожиданно заявил:

— А вот что, Авдей Семеныч, смотрю я на тебя и думаю: эх, хорошо было бы, ежели взяли бы мы с тобой и махнули в Сибирь... а?..

— Я и сам то же думаю, — еще неожиданнее согласился Авдей Семеныч и даже стук-

нул кулаком по столу. — Да, едем... Довольно!.. Ах, как я устал, весь устал!..

— У нас, брат, отдохнешь... Поля, лес, реки — все, чего душа просит. Другим человеком будешь...

— Вот-вот... И я то же думаю. Завтра же едем... Даю тебе честное слово. Возьму отпуск сначала, а потом переведусь на службу в Сибирь. Слава богу, земля не клином сошлась...

— В Сибири место всем найдется, — поддерживал Окатов. — Люди нужны... Хорошо у нас. Свет увидишь, по крайней мере, живых людей...

Авдей Семеныч вскочил и нервно заходил по столовой. Елена Павловна молча глядела в свою тарелку. Молодые люди переглядывались, едва сдерживая смех. Ах, какой смешной папа... Наконец Елена Павловна не выдержала и спросила:

— А как же я, Авдей Семеныч? Ты говоришь все время только об одном себе...

— Ты?..

Авдей Семеныч вдруг захохотал.

— Ты? Я тебя совсем не знаю... Да, не знаю. Ты для меня совсем чужой человек...

Расходившегося Авдея Семеныча едва увели спать. Он что-то такое громко говорил, размахивал руками и старался вырваться. Когда дверь кабинета заперли, оттуда долго еще слышался его охрипший голос:

— Да дайте же мне быть человеком хоть раз в жизни!.. Оставьте меня!..

Авдей Семеныч проспал мертвым сном до одиннадцати часов вечера и проснулся с страшной головной болью. В доме было тихо. Он вышел в гостиную — там никого не было, в столовой — тоже. Авдей Семеныч послал горничную за сельтерской водой и вернулся к себе в кабинет. Елена Павловна заперлась у себя в спальне, и идти к ней было немыслимо.

«Пробуждение пьяного петербургского чиновника...» — с горечью подумал Авдей Семеныч, шагая из угла в угол по кабинету.

Он припомнил до мельчайших подробностей довольно безобразную сцену в столовой, и ему сделалось совестно перед детьми. Что они подумают о нем? Ну, жена посердится, наговорит кислых бабьих слов, а затем примирится на какой-нибудь шляпке. А вот де-

ти... гм... да... Вообще скверно. В голове Авдея Семеныча еще бродили пары облепихи, и он не мог признать себя виновным по существу дела. Да, он был прав, но только высказать все это следовало другими словами и совсем уж при другой обстановке.

Освежившись сельтерской водой, Авдей Семеныч завалился спать.

— Спи, пьяненький петербургский чиновник, — думал он вслух. — Ты осмелился в собственном доме, кажется, единственный раз сказать правду...

Проснулся Авдей Семеныч на другой день рано, потребовал себе чаю в кабинет, оделся и вышел из дому раньше обыкновенного на целых два часа. Чтобы убить время, он долго гулял по набережной Фонтанки, выходил на Неву и вполне освежился. Все вчерашнее ему показалось каким-то сном. Неужели это был он, Авдей Семеныч, всегда скромный, вежливый, тихо и покорно тащивший тяжелое семейное ярмо?

Да, случай, — бормотал он, покачивая головой.

Он боялся даже думать о том, как он вер-

нется со службы домой и как покажет глаза жене и детям. Да, положение было ужасное... Он был счастлив, что может идти в свой департамент и с головой зарыться в бесконечную работу до пяти часов вечера. А там будь что будет... Подходя к месту своего служения, Авдей Семеныч припомнил, что вчера обещал Окатову приехать на вокзал проводить его. Этого еще недоставало... Как он встретится с другом детства и что будет говорить с ним?

— А это все он виноват, неистовый сибиряк! — решил наконец Авдей Семеныч, оправдываясь перед самим собой. — Конечно, он... Все он! Если бы не он, ничего бы и не было. Одним словом, не поеду его провожать...

Но Окатов предупредил последнюю мысль и сам явился в департамент, чтобы пригласить друга детства пообедать где-нибудь с глазу па глаз. Авдей Семеныч испугался, когда курьер подал ему карточку Окатова.

— Они там-с, ждут вас в приемной, ваше превосходительство, — докладывал курьер, почтительно вытянувшись.

Его превосходительство смущенно жевал

губами и медлил.

— Гм... да... — бормотал он, потирая лоб рукой. — Да... Так скажи этому господину, что меня нет... то есть, что я был на службе, а потом уехал... Нет, постой!.. Ты скажешь... скажешь... Одним словом, скажи, что меня нет!..

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

М-ме Квист, Бликс и К°

(Очерк)

I

На соборной площади губернского города Красноскутска стоял дом соборного протопопа Миловзорова, сдававшийся внаймы под торговые помещения. Город был хотя и бойкий, но протопоповскому дому как-то не везло, — кто его ни снимет, тот и прогорит. Была торговля «колониальными товарами», потом галантерейная, потом мануфактурная, но все они провалились в самом непродолжительном времени. Колониальный торговец бежал от долгов, галантерейщик объявил себя несостоятельным, а мануфактурист предлагал своим кредиторам по десяти копеек за рубль.

Местные красноскутские коммерсанты объясняли эти крахи прямо домом, в котором «неладно». Сам протопоп умер, а протопопица жила во флигеле с сыном. Дом стоял пустым уже целых два года, и это огорчало протопопицу до глубины души, потому что лишало ее главной статьи дохода. Что думал сын протопопицы, занимавший место в одном из частных банков, было неизвестно, потому что это был очень сдержанный молодой человек, не любивший болтать.

В одно прекрасное утро на роковом доме появилась громадная вывеска: «Квист, Блике и К°, комиссионеры заграничных торговых фирм». По сторонам вывески были прибиты аншлаги с изображением швейной машины, велосипеда, кофейной мельницы и разных других, более или менее соблазнительных предметов. В окнах нового магазина можно было видеть самые предметы торговли и целый ряд разноцветных афиш, рекомендовавших удивительнейшее мыло для вывода пятен (марка «последнее слово науки»), еще более удивительный порошок для чистки металлов, несколько вернейших средств от на-

секомых необыкновенный инструмент, заменявший пилу, алмаз для резания стекла, складной аршин и служивший, смотря по желанию, ножом и вилкой, и т. д. Удивительнее всего было то, что магазин открылся как-то вдруг, неожиданно, а его вывеска напоминала те цветы, которые распускаются в одну ночь.

— Немцы какие-то, — объясняла протопопица любопытным. — Прямо с железной дороги приехали вечером, дали задаток за два месяца вперед, а утром уж магазин открыли.

Знакомые протопопицы только покачивали головой. Что-то, уж очень быстро все сделалось, особенно принимая во внимание то, что «немцы» должны были отдохнуть после дороги и, по крайней мере, выспаться. Впрочем, на то они немцы... На русских магазинах по неделе одну вывеску прилаживают: сначала привезут ее на двор, и стоит она на дворе дня два, потом вытащат на улицу — тоже стоит битых три дня, потом начинают поднимать — тоже дня два займет. А дальше перевозят товары, распаковывают, раскладывают, наводят «выставку» для заманивания довер-

чивых покупателей, — глядишь, двух недель как не бывало. Хозяин ругается с вывесочным мастером, с приказчиками, задерживает платежи за квартиру и так далее, а тут в одну ночь все дело обернули, точно в сказке, где все делается по щучьему веленью.

Когда степенный сын протопопицы проходил утром на службу, то заметил в одном окне открытого магазина свежее и молодое личико какой-то женщины. Она была белокурая, с такими большими серыми глазами. На окне стояла спиртовая лампочка, на которой что-то варилось в никелированной кастрюльке. Молодой человек оглянулся, а молодая женщина спряталась за штору, и он видел только краешек белой утренней кофточки с прошивками.

«Когда они успели шторы повесить?» — подумал молодой человек и с особенным вниманием несколько раз прочитал вывеску, напрасно стараясь угадать, кто была прелестная незнакомка — m-me Квист или m-me Блике.

Протопопица отличалась еще большей наблюдательностью и, когда сын вернулся со службы к обеду, сообщила ему под секретом,

что «комиссионеры» — люди семейные и что у них есть дети.

— Как у них? — удивился сын. — У которого-нибудь одного... Ведь одна женщина?

— А кто их разберет... Может, по ихнему закону и это можно.

— У всех, мамаша, закон один. Вот как они торговать будут, когда у нас уж в трех магазинах велосипедами торгуют, а швейными машинами и не сосчитаешь?

— Опять-таки их дело, Сережа. Платили бы деньги за квартиру... Я свечу пообещала поставить Николаю-угоднику. А деточки славные, девочка да мальчик. Девочка-то на Бликса смахивает, — такая же черномазая, — а мальчишечка на Квиста больше нашибает — белобрысый такой.

— Мамаша, вы ошибаетесь: Блике белокурый, а Квист — сильный брюнет.

— Ну, это все равно, а только я про то, что дети-то разные... Вот одеты они по-господски, точно картинка. Немка-то, и надо полагать, пробойная: везде поспевает, — и за детьми углядит, и кофий варит, и в магазине торчит за кассой. Кухарку и горничную нанимают,

а пока все сама... Славная бабочка, кабы не немка.

Появление новой торговой фирмы послужило темой для разговоров соседей на целую неделю. Поговорили, посудачили и оставили в покое. Вопрос о принадлежности молодой женщины Квисту или Бликсу так и остался открытым, хотя женщины и обсуждали его с особенной настойчивостью. Удивляло всего больше то, что немка жила, как часы: вставала в известное время, варила на спиртовке молоко и кашу своим ребятишкам, а в десять часов утра, несмотря ни на какую погоду, выводила их гулять. А остальную часть дня, как птица в клетке, сидит за проволочной решеткой своей кассы, а когда нет работы — женским делом что-то ковыряет и шьет. Общее мнение резюмировало, что немка хорошая и собой красивая, высокая, здоровая, веселая. Выйдет на улицу — любо посмотреть. Хоть бы и не Квисту с Бликсом впору. Комиссионеры, вообще, составляли тайну. Известно было только, что они отлично ездят на велосипедах, курят сигары и живут дружно.

Провинциальная публика с какой-то жад-

ностью накидывается на каждую новинку, а потом так же быстро свыкается с ней и забывает. Новая фирма пережила этот прилив внимания, а затем попала в полосу равнодушия, как судно, которое захватывает штиль. Известно было одно, что и Квист и Блике о чем-то усиленно хлопочут, ездят на извозчиках, со всеми знакомятся и ведут какие-то свои дела. Покупателей было немного, и нгмка могла свободно заниматься в своей проволочной клетке шитьем и вязаньем.

II

Наступила зима. По вечерам Сергей Миловзоров уходил в клуб. Скучища там была ужасная, за исключением двух игорных комнат и бильярдной. Даже семейные вечера не приносили оживления. Дамы усаживались играть в карты, а в общей зале кружились две — три пары. Красноскутские кавалеры не желали танцевать, девицы уныло бродили из комнаты в комнату, как стерляди в трактирном аквариуме, и все вместе ужасно скучали, испытывал какое-то беспричинное озлобление. Миловзоров скучал вместе с другими и шел в клуб только потому, что решительно

некуда было деваться по вечерам. И вдруг семейные вечера ожили благодаря появлению в них комиссионеров Квиста и Бликса. Они веселились напропалую, то есть танцевали, ухаживали за своей дамой, а потом ужинали. Получалось что-то необычайное для чопорной провинциальной публики, боявшейся на каждом шагу потерять собственное достоинство. А Квист и Блике танцевали, правда, не особенно искусно, но зато так весело, что приходили даже присяжные клубные игроки в общую залу, чтобы посмотреть на чудаков. Квист и Блике удивлялись, в свою очередь, скучающей красно-скутской публике, — помилуйте, такой хороший зал, целый оркестр музыки, недурная кухня, — как же тут не веселиться? Потом они так трогательно ухаживали за своей дамой и танцевали с ней поочередно с отчаянным усердием, вызывая еще раз в публике вопрос, который же из них настоящий муж? Больше, — когда один комиссионер уезжал куда-нибудь по делам, в клуб являлся другой и держал себя так, как будто он и есть настоящий муж, которого так напрасно доискивались досужие люди. Благода-

ря неугомонной веселости Квиста и Бликса семейные вечера вдруг оживились, и другие начали веселиться просто из зависти.

В числе этих других был и Миловзоров. На танцах он познакомился с обоими комиссионерами, которые представили его своей таинственной даме.

— Зоя Егоровна, это наш молодой хозяин, Сергей Иванович Миловзоров.

Зоя Егоровна молча протянула длинную белую руку и посмотрела на молодого хозяина какими-то печальными глазами. Это выражение Миловзоров заметил у нее давно, и оно страшно не соответствовало внешнему веселью комиссионеров. Она веселилась точно по обязанности, по крайней мере ее лицо не принимало участия в этом веселье. Миловзорову теперь она казалась красавицей, конечно, по сравнению с красноскутскими дамами. После одной веселой кадрили-монстр он предложил ей руку, чтобы пройтись по залам.

— Благодарю вас... — как-то деревянно ответила она, подавая свою руку.

Они шли несколько времени молча.

— Извините — нескромный вопрос, Зоя Егоровна, — заговорил Миловзоров, задерживая шаги: — у вас такой грустный вид...

Она остановилась и с удивлением посмотрела на него.

— Разве это так заметно? — проговорила она и чуть покраснела.

— Да, то есть мне так кажется. Вероятно, вы очень скучаете?..

— О, нет, мне некогда скучать... нисколько...

Она говорила с иностранным акцентом и очень мило картавила, что особенно нравилось Миловзорову. Он тоже ей нравился — плечистый, с окладистой русой бородой и таким добродушным русским лицом. Из таких добродушных увальней выходят прекрасные мужья.

— Почему вы сделали такой вопрос? — обратилась она к нему после длинной паузы и опять посмотрела своими печальными глазами.

— А так. Право, не знаю, я думал, что вы больны.

— О, нет, я здорова.

Это внимание ее тронуло. Совершенно чужой, незнакомый человек, а между тем интересуется ее здоровьем.

За первым разговором последовал ряд других. Обыкновенно встречались в клубе. Зоя Егоровна по привычке сама искала глазами своего кавалера и улыбалась ему издали. Ей делалось как-то легче, когда он был около нее, тут, рядом. Это было то чувство хорошей дружбы, которое так редко встречается и которое, вероятно, поэтому так ценится женщинами. Вместе с тем Миловзоров заметил, что Зоя Егоровна вечно настороже, как дрессированная цирковая лошадь. Она знала даже шаги своих комиссионеров и повиновалась каждому их взгляду беспрекословно. Ей иногда хотелось подольше остаться в клубе, но один взгляд Квиста или Бликса мгновенно возвращал ее к ее обязанностям.

Раз Миловзоров спросил с добродушной откровенностью настоящего провинциала:

— Зоя Егоровна, скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

— M-me Квист, Блике и К°,— ответила она с улыбкой.

Потом она чуть заметно вздохнула и прибавила:

— Представьте, Сергей Иваныч, вы — попович, и я — поповна. Да, настоящая поповна, только английская. В Россию я попала шестнадцати лет, а теперь мне двадцать пять. Да...

— Вы скучаете о своей Англии?

— И да и нет... Мне как-то обидно думать о своей родине. Впрочем, вы едва ли меня поймете... Это нужно испытать.

— Я постараюсь понять, Зоя Егоровна...

— Да? Впрочем, вы добрый и поймете... Помните, как вы в первый раз пожалели меня? Мне это было больно... да. Я, действительно, испытываю тяжелое чувство, когда смотрю на вашу русскую публику, именно я завидую, что не родилась русской поповной. Вы не смейтесь, это так. Европейская девушка уже является формой товара, который безжалостно отправляется во все части света, то есть подвергается изгнанию, как элемент ненужный и обременительный у себя дома. На этом международном рынке самым дешевым товаром является немка, а за ней мы, англичанки. Француженки представляют вы-

годное исключение и умеют продать себя дорого. Главный рынок для немок — Россия, а для англичанок — Америка, Австралия и частью азиатская Индия. Вы только представьте себе, что ежегодно десятки тысяч таких европейских девушек должны покидать родной угол и подвергать себя страшной неизвестности. Да, за ними культура, все чудеса цивилизации, известная выдержка характера, но ведь главное-то для всякой женщины — свой угол, домашний очаг, и эта международная женщина бродит по всему свету, как своего рода вечный жид. А русскую девушку вы почти нигде не встретите, за исключением богатых семей, которые путешествуют по Европе для собственного удовольствия, и еще учащихся женщин, которые потом возвращаются в Россию. Русская девушка нужна еще у себя дома, у нее есть свой угол. Наконец весь склад русской жизни совсем другой, и прежде всего нет этого ужасающего эгоизма, которым пропитан каждый европейский мужчина. Вот почему английская поповна для вас является m-me Квист, Блике и К°.

Она опять посмотрела на Миловзорова

своими грустными глазами и вздохнула, а он смутился, как человек, который шутя вызвал наболевшую откровенность.

III

Протопопица стала замечать, что с Сережей как будто что-то неладное творится. Он всегда был неразговорчивым и серьезным, а теперь уж начал совсем задумываться. Или на службе торчит, или у себя дома шагает из угла в угол. Даже похудел за зиму. У матерей есть свой инстинкт, и они чуют беду.

— Сережа, ты бы сходил куда-нибудь, — советовала она, — Молодой человек, что сидеть дома-то?..

— Куда же мне идти?

— Мало ли у нас знакомых: к судейским кому-нибудь или к своим банковским.

— Не стоит, мамаша. Скучно одинаково везде...

Семейные вечера в клубе кончались на масленице (этого слова Зоя Егоровна никак неумела выговорить), и Миловзоров серьезно скучал. Теперь он мог встречать Зою Егоровну только на улице, когда она делала свою утреннюю прогулку с детьми. Душевные раз-

говоры кончились, и Зоя Егоровна точно начала сторониться русского поповича. А он смотрел на нее такими странными глазами, что заставлял ее краснеть и хмурить тонкие брови.

— Почему вы никогда не пригласите меня к себе? — откровенно спрашивал Миловзоров. — Ведь я хорошо знаком с Квистом и Бликсом...

— У нас это не принято. Мужчины у нас не бывают... Это только русские тащат к себе домой каждого встречного. Это не относится к вам, Сергей Иваныч, а я так, вообще, говорю...

Миловзоров смотрел на нее и думал про себя: «Какая она хорошая, вся хорошая. С такой женщиной не страшно связать всю жизнь». Оборотной стороной этой простой и естественной мысли являлась какая-то глухая ненависть к Квисту и Бликсу с их самодовольством, выдержкой и европейским эгоизмом. Собственно, положение Зои Егоровны являлось утонченным цивилизованным рабством, за которое не приходилось даже платить, как это делалось в доброе старое время настоящего откровенного рабства. Комиссио-

неры эксплуатировали ее самым бессовестным образом, кончая ее комиссионерским материнством. Даже протопопица удивлялась безответности мудреной немки. А Миловзоров думал о ней все время и у себя в банке и дома по ночам. Как-то, после одной из таких бессонных ночей, он дождался Зои Егоровны во время утренней прогулки и проговорил без всяких предисловий, виновато опустив глаза:

— Зоя Егоровна, выходите за меня замуж... Я вас очень... очень люблю... Право, мы прожили бы недурно.

Она страшно смутилась и посмотрела на него испуганными глазами, как на сумасшедшего.

— Я знаю, что вы даже не m-me Квист, Блике и К°, а просто конторщица. Когда пройдет ваша молодость, вас вышвырнут на улицу, как бросают негодную тряпку... О, я все знаю, я столько думал об этом!

Она схватила своих детей за руки, точно искала в них защиты, и ответила упавшим голосом:

— Если бы я встретила вас лет десять на-

зад, когда была девушкой, тогда... А теперь...

— Я не требую сейчас ответа. Вы подумайте серьезно... Я уже решил про себя.

Он даже улыбнулся и так спокойно посмотрел на нее. В его карих добрых глазах действительно светилась решимость, та отчаянная славянская решимость, которая идет на все.

— Вы хорошая, хорошая, хорошая... — повторял он, продолжая улыбаться. — Вся хорошая! Я буду ждать...

Зоя Егоровна не выходила на обычную прогулку целых три дня, опасаясь новой встречи, а Миловзоров три дня не ходил на службу. Он заперся у себя в комнате и шагал из угла в угол. Протопопица окончательно была убита и не знала, что ей делать. На четвертый день, утром, он взял свой портфель и отправился на службу. Протопопица обрадовалась и видела, как он завернул в магазин Квиста и Бликса.

Когда Миловзоров зашел в магазин, Зоя Егоровна сидела за своей решеткой, как всегда. Он даже не поздоровался с ней, а подошел прямо к прилавку с витриной, за которой

сидели Квист и Блике.

— Я пришел… да, я пришел… — заговорил он сдавленным голосом, глядя в упор на комиссионеров. — Я хотел сказать… да…

Квист и Блике подумали, что попович пьян, и переглянулись.

— Скажите, пожалуйста, господа комиссионеры, если бы вы встретили девушку, которую два негодяя захватили бы в самое позорное рабство… Да, именно рабство. Нет, хуже…

— Что вам угодно? — спросил Квист, сдвигая брови.

— Мне угодно сказать вам, что так нельзя. Помилуйте! Ведь она человек, она мучается, у нее испорчена вся жизнь, она лучше вас, и меня, и многих других.

— Послушайте, нам не до философии… — заметил Блике. — Вообще, извините, нам некогда…

— Некогда? Ха-ха… А я вас заставлю выслушать меня, потому что я говорю про нее, вот про эту девушку, которая сидит в вашей клетке.

Миловзоров указал на Зою Егоровну и поклонился ей издали.

— Милостивый государь, какое право вы имеете вмешиваться в чужие дела? — сказали в один голос комиссионеры.

— Какое право? А вот какое право... Представьте себе, что у Зои Егоровны есть брат... да, брат..- и этот брат — я. Да, я, я!.. Я прихожу и говорю вам, Квист и Блике, что вы негодяи... да, негодяи!..

Зоя Егоровна страшно перепугалась. Но дальше произошло все так быстро, что она не успела даже крикнуть о помощи. Она видела только, что Миловзоров выхватил из кармана револьвер и в упор выстрелил сначала в Квиста, а потом в Бликса. Квист присел и схватился за руку, а Блике нырнул под прилавок, как заяц. Дальше Миловзоров как будто растерялся и с удивлением посмотрел кругом, а потом бросил револьвер, сел на табурет и закрыл лицо руками.

Через десять минут в магазин явилась полиция. Миловзоров оставался на прежнем месте и спокойно говорил:

— Ах, как я ее люблю... да, люблю.

Квист отделался легкой раной в левой руке, а Блике — одним испугом. Они не дожда-

лись суда и незаметно исчезли из Красноскутска, оставив на память протопопице свою вывеску. M-me Квист, Блике и К° исчезла вместе с ними. Через полгода Миловзорова судили и нашли, что он действовал в психически-расстроенном состоянии.

Последняя веточка

(Из старообрядческих мотивов)

I

Когда мне случается проезжать через большое село Займище, я всегда завертываю в старый бороздинский дом, к старушке Миропее Михайловне: такая милая и почтенная старушка, что совестно проехать мимо. Сам бороздинский дом представлял собою нечто совсем особенное: двухэтажный, большой, с крутой железной крышей, весь почерневший от времени, он был построен еще стариком Бороздиным, и построен так крепко из кондового леса, что простоял целых сто лет и не пошатнулся, только бревна сделались бурыми, да крышу несколько раз переменили, точно старый дом менял шапку.

В Займище была всего одна улица, огибавшая полукругом большое Черное озеро на целую версту; дома вытянулись в два порядка, и почти у каждого в огороде торчало по нескольку деревьев. Последним Займище резко отличалось от всех окрестных сел и деревень.

— Это еще наши деды сады сохранили... — объясняла Миропея Михайловна. — Ну, старинка-то и держится. Дикое прежде место было, раменье, а теперь все кругом вон как обчистили.

Бороздинский старый дом стоял в самом центре села и упирался задами в озеро. Таких старинных домов в Займище было несколько, но они все развалились или стояли пустые; держался один только бороздинский, так умненько поглядывавший своими маленькими окнами на улицу и на своих новых соседей. Я всегда испытываю какое-то особенное чувство почтения, когда еще издали завижу два ряда окошек бороздинского дома, вышку со слюдяной оконницей, сплошную массу служб, шатровые ворота с деревянной резьбой, завалинку, на которой любил летом по-

сидеть сам старик Михайло Васильич, любуясь бегавшими по улице внучатами: что-то такое почтенное и строгое чувствовалось в этой деревянной громаде, служащей живой летописью четырех поколений. Нынче, в наше грошовое и обманчивое время, таких хороших, именно семейных домов больше не строят, а из кожи лезут, чтобы из дома сделать что-то вроде трактира с номерами для господ приезжающих. Михайло Васильич потому и не любил бывать в городе и постоянно жаловался:

— Остановиться не у кого — с души воротит... Трактир не трактир, казарма не казарма, а только настоящих домов нет. Исшатался народ, дома-то не живут, — ну, скворечницы себе и налаживают...

Айаленькая калитка с железным кольцом вела на широкий двор, устланный деревянными плахами; на Урале еще сохранились кое-где такие дворы с деревянным полом; они занесены к нам раскольничьими выходцами из лесных заволжских губерний. Иногда они делаются совсем закрытыми, так что во дворе совсем темно даже среди белого дня. Кругом

бороздинского двора вытянулись сплошной деревянной стеной сараи, конюшни, амбары, стаи[317], кладовые и кладовки; но теперь все это хозяйственное строение было пусто и заметно ветшало с каждым годом: где крыша дала течь, где угол осел, где дверь покосилась; нужен был везде хороший хозяйский глаз, а его-то и не было. Самый дом выходил на двор широким крыльцом; за ним следовали холодные стены с какими-то хозяйственными перегородками. Главные покои находились во втором этаже, под ними — теплые повалуши [318], над ними — светелка и летник; около жилых комнат жались разные тайнички, переходы, чуланы и каморки.

В бороздинском доме больше пятидесяти лет существовала тайная раскольничья моленная, в которой и теперь еще молились займищенские староверы. Эта моленная образовалась из разоренных скитов, которые процветали в Займище еще в тридцатых годах настоящего столетия. Скиты были опечатаны предержащими «властодержцами», старики и старицы были изгнаны, а святыня, какую успели спасти, вся перешла в бороздинский

дом, и Михайло Васильич берег эту святыню, как зеницу ока.

Теперь бороздинский дом стоял почти совсем пустой, за исключением одной только угловой комнаты в нижнем этаже, где перебивалась сама Миропея Михайловна со своей десятилетней внучкой Афонюшкой.

— Главная причина — топить надо бы всю хоромину, а дрова ноне дорогие, — объясняла старушка с неизменным тяжелым вздохом, — Где взять-то!.. Наше дело сиротское, сами крохами питаемся от добрых людей. Не оставляют нас с Афонюшкой...

Миропея Михайловна любила показывать родительский дом и не раз водила меня по всем этажам. Комнаты были небольшие и сохранились в том виде, в каком остались после самого Михайла Васильича: старинная тяжелая мебель, выкрашенные клеевой краской стены, желтые полы, изразцовые печи, бронзовые канделябры, двуспальные кровати, везде по углам образа старинного письма. В гостиной канареечного цвета висел портрет самого Михайла Васильича, писанный масляными красками; это был седой, благообраз-

ный старик с темными, суровыми глазами.

По шатавшимся лесенкам и переходам мы поднялись в светелку, где росли и невестились четыре поколения бороздинских красавиц и где выросла сама Миропея Михайловна, единственная дочь Михайла Васильича. Мне эта светелка нравилась больше всех других комнат, потому что с нее открывался отличный вид на все Займище, Черное озеро и синевшие вдали «уральские бугры».

— Хорошо здесь! — говорил я, любуясь видом.

— Прежде лучше было, — вспомнила Миропея Михайловна, поглядывая в окошечко. — Покойник-тятенька очень даже любил сюда захаживать... Прежде-то наше Займище было красивее не в пример. Не было вон тех пустырей по улице, да и дома не так строили...

— Пустыри от скитов остались?

— От них от самых... Земелька одна осталась да могилки... А сколько боголюбивого народичку тут проживало: старцы, старицы, странные люди, убогонькие, сироты. А нынче что?.. Не глядели бы глазыньки... Домиш-

ко-другой поставят, так и тот заворуем глядит... Ну, так и живут!

Открывавшийся из светлицы вид окрестностей Займища был замечателен тем, что вся эта всхолмленная широкая равнина, по дну которой катилась горная речонка Вежайка, образовавшая Черное озеро, — вся эта равнина была пропитана золотым песком, снесенным сюда с восточных отрогов Уральского хребта. Когда-то по берегам Вежайки и Черного озера красовались вековые леса, а теперь, благодаря золоту, все превращено было в безлесную пустыню, изрытую по всем направлениям; там и сям желтыми пятнами выделялись работавшие и заброшенные прииски, шахты, валы перемывок, старые отвалы.

— Вон как землю-то кругом изрыли!.. — печально говорила Миропея Михайловна, рассматривая окрестности. — Прежде-то куда ни повернись — везде лес, шуба шубой, а нынче девкам за грибами некуда сходить. С золотом-то этим все по миру пошли... Бедует народ.

— Да ведь у вас хорошие были прииски?

— А господь с ними, голубчик... Разорение

одно от них, кто ежели по-истовому живет. Не таковское это дело... И без золота жили, а с золотом все прожили остальное, что было накоплено еще покойничком-тятенькой. Дом, вон, того гляди, начнет разваливаться, и поправить нечем... Тут бы гвоздик заколотить, там бы досточку наладить, а управа-то не берет, да и дело наше с Афонюшкой женское, неспособное.

Афонюшка, быстроглазая смуглая девочка, всегда слушала россказни бабушки с немым вниманием и постоянно расспрашивала, кто жил в этой комнате, кто в той, где спал дедушка Михайло, где обедали, работали, веселились. Старый бороздинский дом был до краев наполнен такими семейными воспоминаниями: на лежанке внизу жила юродивая Домнушка, в светелке свои девушки, дедушка Михайло умер в угловой, где неугасимая горит и теперь, на святках играли в «вовмолки» (жмурки) в средней комнате, где обедали, гостей принимали в желтой гостиной и т. д., и т. д.

— А в синей комнате жил твой отец с матерью, — прибавляла старушка. — Тихой он

был характером-то... Ну, а мать задорная была; так-то ничего — добрая, только сердцем горяча: чуть что — и загорелась, как порох.

— У вас всех детей сколько было, Миропея Михайловна?

— Девять человек в живых, да шестерых схоронила, голубчик. Из живых-то четыре дочери замужем были, потом три сына были женатых да два холостых... Афонюшка от середняка пошла, Спиридоном звали. При покойничке в дому за сорок человек постоянно живало, а как я своих детей подняла на ноги да оженила, так и не сосчитаешь скоро-то... Дочери, конечно, при мужьях жили, ну, старший сын выделился, а остальные все одной кучей. Это до промыслов было, а как занялись золотом — все и пошло врозь...

К этому старушка неизменно прибавляла:

— Теперь вот одна Афонюшка осталась, как синь-порох... Всех я перехоронила; пошел, видно, наш бороздинский род на перевод.

II

Всего интереснее в бороздинском доме была та угловая каморка, в которой приютилась Миропея Михайловна со своей внучкой. До-

вольно большая и длинная комната с низким потолком была так загромождена какими-то сундуками и старинной мебелью, что буквально пошевелиться было негде; старушка, как мышь, сносила в свою нору все, что оставалось хорошего в доме. Весь этот хлам служил для нее бесконечным материалом для воспоминаний, которые покрывали каждую вещь точно слоем пыли. Зеленое кресло, стоявшее в углу, осталось от тятеньки Михайла Васильевича, который любил на нем сидеть; комод с бронзовыми уголками и ручками — от покойницы маменьки; в сундуках хранились старинные шубы, крытые какой-то необыкновенной материей, толстой, как кожа, шелковые сарафаны, выложенные дорогим позументом, старинные дорогие покрывала, повязки, кокошники, душегрейки и т. д. Раза два или три в год, главным образом весной, Миропея Михайловна извлекала все это «добро» из недр своих сундуков и проветривала. Это было настоящее торжество, и маленькая Афонюшка не отходила от «баушки», рассказывавшей историю каждой вещи своим ровным, невозмутимым, голосом, точно жур-

чал по камешкам ручеек. И лицо у бабушки делалось какое-то совсем особенное — такое ласковое-ласковое и печальное, а глаза подергивались слезой.

— Баушка, о чем ты плачешь? — спрашивала девочка, сама готовая расплакаться над всеми этими шубами и сарафанами.

— Так, милушка... Стара я, Афонюшка; раздумаешься да раздумаешься, ну, и защемит сердечушко. Тебе это еще рано знать...

— Разве все старые люди плачут, баушка?

— Да как тебе сказать-то, милушка... Есть и веселые старички, только это редко бывает: мало веселого-то бог нам посылает, — ну, человек терпит-терпит, да и не вытерпит.

Девочка плохо понимала печальные размышления бабушки и только ласково прижималась к ней своей русой, кудрявой головкой. Небольшого роста, худощавая, но еще очень крепкая для своих шестидесяти лет, Миропея Михайловна невольно обращала на себя общее внимание тем, что переживает красоту и молодость и что мы называем внутренней, душевной красотой. Эта красота сказывалась и в неторопливых движениях, и в ласковой

улыбке, и больше всего в спокойном, сосредоточенном взгляде больших темных глаз, полных неугасавшего огня. Темненькое платье и такой же платок на голове придавали старушке немного монашеский вид и еще лучше оттеняли ее морщинистое лицо с такой необыкновенной кожей, цвета церковной просвиры; это лицо было проникнуто внутренним светом, и ни одна тень не ложилась на него. На такие лица хочется смотреть, точно сам делаешься лучше от одного их присутствия.

Рядом с бабушкой десятилетняя Афонюшка выглядела настоящим полевым цветочком, хотя Миропея Михайловна одевала ее тоже во все темное: ситцевое темненькое платьице, такой же платочек на голове и только в виде исключения какая-нибудь светленькая ленточка в русой косе или нитки стеклянных бус на шее. От этой монашеской простоты тоненькое и бледное личико девочки казалось еще свежее, а светло-карие глаза блестели, как два дорогих камня. В тихой и однообразной жизни разрушавшегося бороздинского дома детский голосок, неугомонная возня и

проказы Афонюшки являлись точно солнечным лучом; девочка выросла в этой развалине, как растет и гнездится где-нибудь в забытом угле одинокая травка.

— Болит мое сердечушко об этой Афонюшке, ох, болит! — не раз говаривала Миропея Михайловна, когда девочка играла под окном или на дворе. — Не жилица она на белом свете!.. Вот и чашечку как-то разбила, — фарфоровая такая была чашечка, еще покойничек-тятенька у китайца в Ирбитской купил. Из этой чашечки я маленькая чай пила, потом своих дочерей поила... И все в шкапике эта чашечка стояла, сколько годов стояла, а тут, как на грех, и попади на глаза Афонюшке: «Дай да дай, баушка миленькая...» — «Разобьешь!» — «Нет, баушка». Ну, ластилась, ластилась ко мне, я и дала ей чашечку-то. Поиграла она с ней, а потом сели чай пить, я только налила кипятку — чашечка-то на несколько частей и развалилась, сама собой развалилась. И так мне было жаль этой чашечки, так жаль, что и сказать не умею; даже смешно рассказывать-то, что о таких пустяках человек может беспокоиться.

Нужно сказать, что в комнате Миропеи Михайловны был заветный стеклянный шкап, битком набитый разной разностью: стояла в нем старинная чайная посуда, висели на гвоздиках фарфоровые и сахарные пасхальные яйца, отдельной пирамидкой красовались старые бонбоньерки; тут же лежали неизвестно для чего обломанные детские игрушки, какие-то подушечки, вышитые бисером, дорожные серебряные стаканчики, несколько обношенных альбомов и т. д. С каждой вещицей здесь непременно было связано какое-нибудь семейное воспоминание, заставлявшее Миропею Михайловну тяжело вздыхать: куклой в синем сарафане играла любимая дочь Феюшка, из серебряного стаканчика пил всегда тятенька, когда случалось ездить в дорогу, зеленую бонбоньерку подарил свекор, сахарное яичко с желтым барашком привезла матушка-свекровушка, когда родился Спиря, в альбомах были фотографии всей родни и бесчисленных знакомых.

— И нынче хорошие-то люди не обегают, а прежде знакомство большое у нас было по всей округе, — любила повторять старушка,

перебирая в шкапу свои семейные реликвии. — Уж про наших-то уральских и говорить нечего: кругом свой народ был — в Екатеринбурге, в Шадрине, в Ирбите, по заводам везде, в Тюмени, в Верхотурье. А были знакомцы из Нижнего, из Иркутска, из Москвы — хорошие знакомцы, хоть не видались годами. Торговое дело, нельзя: на людях жили...

Но, как ни дорог был Миропее Михайловне ее заветный стеклянный шкап, служивший для нее живой семейной летописью, первое место в ее каморке принадлежало, конечно, переднему углу, где от полу до потолка, в два створа, стоял старинный «иконостас», выкрашенный синей краской. Этот иконостас был фамильной святыней, и всегда пред ним теплилась неугасимая лампада. Всех икон было больше двадцати, и все старинного редкого письма, с темными ликами, дорогими окладами и самой подробной биографией каждого образа.

— Старинка все! — ласково говорила Миропея Михайловна, любуясь своим иконостасом.

Коллекция бороздинских икон была в своем роде замечательное явление. Она составилась в смутную эпоху разорения займищенских скитов, когда Михайло Васильич много «облюбовал божьего благословения», то есть приобрел за большие деньги некоторые «истинники» древних письмен. Таким образом к нему попали «фрязи» XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма[319]. Между прочим, в этом хранилище был образок работы знаменитого Рублева, хотя и под сильным сомнением: таких «истинников» греческого, киевского и новгородского дела много выпускает Москва, где проживают доднесь великие мастера из нового делать старое. Вся эта «древляя» иконопись была украшена дорогими окладами обронного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами, унизанными жемчугом и самоцветным каменьем.

— Была еще одна у меня икона, да не умела хранить, — рассказывала однажды Миропея Михайловна, закручинившись. — Не к рукам, видно, или уж так господь хотел нака-

зать.

— Куда же она у вас девалась?

— Икона-то?.. Потеряла я ее — мой грех... То есть и не потеряла даже, а так как-то сама собой ушла из дому. Таких икон я больше и не видывала: лик Еммануилов был, прямо радостный образ самого Христа-младенца. Уж я искала-искала его, ревела-ревела, обещания всякие давала: нет, как под землю ушел образок... Из себя-то он был такой маленький, складеньком, и всегда в иконостасе на первом месте стоял, потому как он у нас был родовой, и покойничек-тятенька, когда им меня благословлял, крепко наказывал: «Блюди его пуще глазу, ежели добра себе хочешь... По всему нашему роду прошел образок-то, с ним прадед наш с Керженца на Урал пришел; у прадеда-то только всего и имущества было, что этот самый образок». Так все и вышло, как покойничек-тятенька Михайло Васильич сказал... Хранила я этот образок, действительно, неусыпно и везде его из дому с собой носила. Так и замуж выходила, и замужем больше двадцати лет прожила. Детишек на ноги маломало успела поднять и пристроить по сво-

им делам: девок замуж повышала, сыновей по занятиям разным... Все у нас хорошо шло, дом как полная чаша, а тут образок-то и потеряйся. И как это случилось — даже ума не приложу... Так уж, видно, господу было угодно. Перед самой эго пасхой случилось, на страстной неделе... Уборка у нас шла по дому-то; ну, дом вон какой, — замоталась я грешным делом, а тут сунуло меня в суседи к одной старушке кардамону прихватить для соления. Так, всего-навсего вывернулась я, может, на полчаса. Прихожу домой, хвать, а образка-то и нет. Весь дом перерыли — нет образка... Ко мне в моленную, окромя ребятишек своих да одной женщины-поломойки, никто не входил. Ну, кроме этой женщины, некому взять... Согрешила, поклепала на нее — нет, говорят, не брала. Так и пошло с тех пор у нас в доме нестроенье, да вот до чего и дошли: все ушло, как дым. А я тогда с горя-то чуть даже с ума не сошла: день и ночь ревела об образке. Раз этак лежу ночью и вдруг удостоилась, грешная и недостойная раба, сонного видения одного старца. Входит он будто прямо ко мне в покои, поглядел-погля-

дел на меня таково строго и вымолвил: «Не умела ты, Миропеюшка, беречь своего счастья»... Только всего и сказал.

III

История бороздинской семьи очень характерна. Как большинство раскольничьих семей, Бороздины были выходцами из России, откуда их гнали «знаки» гражданской «телесно ощущаемой власти» и «любезного никонианского духоборного суда». Это было в начале XVII века, когда Урал только еще населялся и представлял собою ту «любезную пустыню», где свободно могли укрыться по лесным дебрям, болотинам, раменью и «за великими грязями» целые тысячи «изящных страдальцев» за старую веру. Между прочим, беглые населенники облюбовали Черное озеро, и таким порядком образовалось Займище, это сильное раскольничье гнездо, сохранившееся до последних дней. В числе других бежавших из «расейских» насиженных мест был и прадед Бороздин, участвовавший в основании Займища и принесший с собой на Урал только один образ «радостного Христа-младенца».

Займище, как большинство раскольни-

чьих выселков, быстро окрепло, развилось и превратилось в богатое промышленноторговое село. «Ронили» кругом лес, разбивали пашни, покосы и всякие угодья, завели разный промысел, и Займище быстро воссияло, не в пример другим православным насельям и «жилам»[320]. Крепкая раскольничья организация, артельный склад, взаимная помощь, поддержка «отъинуд[321]» — все это вместе взятое сделало свое дело; но самым главным секретом быстрого процветания Займища являлся тот дух единения, который создается всякими гонениями, а религиозными в особенности. Итак, Займище процвело и мало-помалу сделалось самым укромным уголком для всех других раскольничьих беглецов, находивших здесь приют, хлеб и ласку. «Миленькие горемыки», бежавшие иноземной пестроты и никонианского запинания, «ухлебливались» в Займище, слушали ночное правило и старое пение и шли дальше отыскивать новые дебри, медвежьи углы и непроходимые трясины. Бороздины скоро выделились своим достатком из среды своих односельчан и крепко стали во главе ревнителей

первобытного благочиния и раскольничьих милостивцев. Особенно на этом тернистом и опасном пути прославился старик Михайло Васильич, который «изрядно был болезнен о деле божьем», тем более, что ему пришлось действовать в тяжелые николаевские времена, когда на древнее благочестие посыпались дождем административные «запинания»: скиты разорялись, моленные запечатывались, книги и иконы отбирались, раскольничьих попов и старцев травили, как зайцев, и они должны были жить под вечным страхом. Михайло Васильич, благодаря своему богатству и связям, умел ладить с духовными и светскими властодержцами, помогал направо и налево и постоянно горел ревностью к своему делу. Большой поддержкой для старика Бороздина был Екатеринбург, где процветала раскольничья поповщина под крылышком сильных людей Рязановых, хотя Михайло Васильич склонялся больше к беспоповщине.

Здесь необходимо оговориться. Кроме поименованных выше внутренних и внешних условий, благоприятствовавших быстрому насаждению и развитию раскола, существо-

вала еще одна сила, которая, по нашему мнению, имела в высшей степени важное историческое значение в исторических судьбах древнего благочестия: это выдающаяся роль, которую заняла во всех раскольничьих согласиях женщина, особенно в беспоповщине. Последняя и самая «немощнейшая чадь женская», отринувши свою немощь, могла принимать самое живое и деятельное участие во всех делах своего гонимого братства. Женские слабые руки с молитвой, лаской и чисто женской ловкостью сделали то, чего не могла сделать никакая «мужская крепость»: они давали настоящую раскольничью закалку из поколения в поколение. В бороздинской семье женщины всегда имели видное положение и заправляли большими делами. По наследству эта черта перешла и к Миропее Михайловне, которая после смерти отца взяла на свои руки весь дом; она вышла замуж за небогатого человека из своих староверов и держала мужа в руках.

Бороздинский дом под началом Миропеи Михайловны поднялся на небывалую высоту, особенно когда подросли у нее сыновья. К это-

му времени как раз около Займища было открыто богатое золото, и сама старушка увлеклась легкой наживой, тем более, что с первых же шагов на этом скользком пути ее «сильно поманило», то есть заявленные прииски оказались очень богатыми. Раньше Бороздины занимались отчасти подрядами, отчасти торговлей, смотря «по времю», как говорил Михайло Васильич; с открытием золота бороздинский дом закипел совсем новой жизнью и прогремел на целый округ. Но в самый разгар этой бойкой жизни бороздинский род как-то вдруг «пошел на перевод» — сыновья перемерли один за другим, умерли дочери и даже все внучата, за исключением Афонюшки. Капиталы все были вложены в дела, и Миропея Михайловна осталась почти ни с чем, едва сохранив от общего разгрома только жалкие крохи. Впрочем, молва говорила, что у старухи запрятаны чуть не целые миллионы, как говорится всегда в таких случаях. Миропея Михайловна встретила свое несчастье с христианской покорностью и только сказала:

— Бог дал, бог и взял... Господь за наши-то грехи и не это терпел.

Она не плакала, никогда не жаловалась, а только вся точно съежилась и ушла в себя. Жизнь ее еще нужна была для Афонюшки, которая осталась круглой сиротой: нужно было «поднять» девочку, а главное — дать ей бороздинскую закалку. Далее для Миропеи Михайловны исходом горя служила сложная деятельность по нуждам своего раскольничьего общества. Она вся ушла в эту работу и мало-помалу сделалась мирским человеком, к которому шли со всех сторон встречный и поперечный со всякой нуждой и задельем, за хорошим советом, а чаще всего — за хорошим словом. В бороздинском доме всегда можно было встретить кого-нибудь из ее бесчисленных клиентов, и, кроме того, у ней вечно проживали какие-то безыменные старушки, юродивые и просто «странные люди». По раскольничьим домам этого выбитого из всякой колеи люда толпится всегда видимо-невидимо.

— Охота вам водиться с этими бродягами! — скажет кто-нибудь старушке. — Еще украдут у вас что-нибудь...

— А куда же им деться, миленький? — спросит Миропея Михайловна. — Для бога-то

все равны мы, грешные... Надо же и странненьким где-нибудь жить. Ихняя-то молитва, пожалуй, будет доходнее до бога...

Раз я встретил у ней совершенно особенного субъекта. Это был парень лет двадцати, очень простоватый на вид и с каким-то детским выражением лица. Он сидел босой, в одной ситцевой рубашке и как-то глупо улыбался.

— Откуда у вас такой молодец? — спросил я.

— Этот-то? А из лесу, миленький, пришел...

— Как из лесу?

— Да так... Он совсем ничего не понимает по-нашему-то, и слов-то у него нет настоящих. Вот хлеб знает, лучину, воду, ну, так, пустяки разные. Из бегунов он... Маленьким где-нибудь выкрали, затащили в лес, да там и воспитали по-своему.

— А к вам-то как он попал?

— Да от знакомца одного получила... Имя даже у него никакого нет, братцем его звали. Ну, зовем теперь Иванушкой... Иванушка, ты чего в лесу-то делал?

Иванушка мотнул головой и певуче отве-

тил:

— Дрова рубил, сестрица... Вокруг кадочки с водой бегал в рубахах. Лучина горит... сестрицы бегают...

— И не разберешь его хорошенько: то ли он из бегунов, то ли из хлыстов. Разумом-то уж больно прост...

— Где же его нашли?

— А на дороге увидали, с топором идет. Заплутался в лесу и вышел на дорогу. Ну, его и забрали: кто, чей, откуда?.. А у него вон какой разговор-то: сестрицы да братцы, около кадочки бегали... Давай по судам таскать, к следователю представляли; ну, побились-побились, да и отдали на поруки. Теперь у меня живет покуда...

— Что же вы с ним делать будете?

— Да так... может быть, образуется; жаль, тоже живая душа, да и любопытный. Всякого народу нагляделась на своем веку, а таких-то еще не видывала... Как есть человек от пня: разговору даже нашего не знает. Теперь вон Афонюшка грамоте его учит, — так замаялась, сердечная. Не знаю, что будет; пусть поживет пока.

Иванушка сидел на стуле и только как-то странно мычал. Лицо у него было настолько глупое, что сомневаться в его понимании было трудно. Темные волосы, полное дряблое лицо, толстые губы, какой-то вечный взгляд в сторону — все это, в сущности, не представляло ничего особенного: человек как человек, каких встретишь везде, стоит выйти на улицу. Но, вместе с тем, в Иванушке была какая-то неуловимая особенность, которая производила неприятное впечатление, по крайней мере, на меня. Есть люди, к которым чувствуешь совершенно безотчетное недоверие.

Так братец Иванушка и остался жить в бороздинском доме в качестве странного человека. Вел он себя смирно и тихо, любил покушать и спал за троих. Занятия с Афонюшкой подвигались крайне туго, хотя Иванушка, видимо, напрягал все свои силы. Нужно было видеть их вместе, и только тогда объяснялась политика старой «баушки». Однажды мы сидели и пили вечером чай. Окно во двор было открыто. Миропея Михайловна взглянула на него и знаком пригласила меня тоже посмотреть. Картина была действительно ориги-

нальная: в тени у крыльца сидел прямо на полу Иванушка и, видимо, лез из кожи, чтобы прочитать без ошибки какое-то мудреное слово; из-за его плеча выглядывало личико Афонюшки, серьезное и сосредоточенное не по летам. Девочка держала себя совсем как большая и даже походила на маленькую старушку.

— Слава тебе, истинному Христу! — набожно прошептала Миропея Михайловна, широко вздохнула, перекрестилась и вытерла навернувшуюся непрошеную слезу. — В бороздинскую кровь пошла девчурка-то...

IV

В раскольничьих делах Миропея Михайловна всегда принимала самое живое участие, а в последнее время посвятила себя им окончательно. Да и было над чем поработать: раскол извне и изнутри подвергался самым разрушительным веяниям.

— Разве жизнь по нынешним временам? — роптала старушка, покачивая головой. — Только маются да себя обманывают... Вон какую штуку укололи паши-то займищенские с городским банком вашим; слышал,

поди?

— Мельком слышал. Это о Митрофанове?

— Да, о Митрофанове... Наш ведь он, Митрофанов-то, займищенский старожил, старообрядец тоже. Ну, было у него кожевенное заведение в Займище и торговлишка в городу. Хорошо... Только как-то попал он в городскую управу да в банк. Сидел-сидел там и придумал штуку: давай займищенских мужиков наших соблазнять, чтобы они домишки свои в банк закладывали, а уж я, дескать, своим-то помогу. И началась потеха... Приходит мужик в банк и закладывает свой домишко, кто за двести, кто за четыреста, а кто и за всю тысячу (рубликов. Митрофанов всех нахваливает, как самых справных мужиков, а сам вместо денег-то и рассчитывает их своими кожами, да еще по своей цене. Сколь же он ни хитер, прости ты меня, господи!.. Выискался же такой пес... Ну, наши-то займищенские и позакладывали своих потрохов тысяч на восемьдесят. Легкое место сказать!.. Ну, выкупить нечем, проценты нести в банк тоже нечем, — и пошли все продавать с укциону. Продавали-продавали, да едва тысяч шесть набрали...

Деньги-то мужики размотали, домов лишились, да и посиживают теперь ни у чего. Скажи ты мне, ради истинного Христа, слыханное это дело, а?.. Положим, Митрофанова судили, лишили прав и сослали куда-то в хорошее место, а все-таки наши займищенские захудали для его воровства, как последние нищие. Это как по-твоему?..

— Очень некрасиво вышло...

— Уж на что некрасивее, милушка. А главное, мужики — что ни на есть самые простые — и те на разные хитрости поднялись; вот беда-то где наша! Диви бы были они ученые какие, образованные там, а то просто все народ от пня. Да и везде это пошло, на всякие манеры поднимаются: один дом застрахует да выжжет, другой несостоятельным себя объявит, третий просто украдет здорово живешь... Ох, тошнехонько и говорить-то!.. А все оттого, что ослабел народ, шататься начал из стороны в сторону да искать, где ему легче... Вишь, всем зараз тяжело стало, точно прежде не жили... Да еще как жили-то! Уж нынче ли не жить, кажется: слава богу, до всего, кажется, свободно, а вот ты поди, потолкуй с наро-

дом-то...

Старушка часто возвращалась к этой теме и постоянно иллюстрировала ее новыми подробностями.

— Прямо, последние времена наступают, — несколько раз повторяла она в заключение. — Чего же еще нам ждать-то остается?.. Прежде мы все православных корили за ихние поступки, а нынче и наши старообрядцы в отличку пошли: один лучше другого стараются сделать.

Уральский раскольничий мир за последнее время действительно переживает самую пеструю полосу всяческих напастей, преимущественно внутреннего характера. Возникли нелады, мятеж и свара немалые, и «сталось развратное прекословие, неукротимое рассечение и рознь даже до драки». Первые семена раскола на Урал занесены беспоповщиной и были особенно утверждены выгорецкими выходцами и кержаками; поповщина явилась после, но также утвердилась на Урале я даже перевысила беспоповщину. Затем наступило междусвященство, и опять старчество забрало прежнюю силу, чему способствовала ца-

ившая между раскольничьими попами вражда и крайне соблазнительное поведение. В самое последнее время жестоко схватились между собой екатеринбургские раскольничьи попы Трефилий и Иоанн, так что эта «пря» вызвала приезд на Урал самого Савватия, епископа тульского и пермского. Но Савватий не умиротворил, а еще больше подлил масла в пылавший огонь раздора, потому что стал на сторону Иоанна, отринув Трефилия как черноризца; между тем последний пользовался особенными симпатиями паствы. Одним словом, совершился великий соблазн, множивший новые разделения и свары.

Миропея Михайловна хотя душой и тяготела к своим излюбленным старцам, но в то же время сильно болела всеми неустройствами и рознью приемлющих священство.

— Все, миленький, от одного корня-то пошли, — говорила старушка и укоризненно качала головой. — Прежде этого не было... Нехорошо! Ох, как это нехорошо!.. Старики вздорят да тянутся промежду себя, а молодые в сторону глядят. Какой-то совсем равнодушный народ нынче пошел... Нельзя сказать,

чтобы там в православные уходили, а так как-то, все им равно. Не стало прежнего прилежания к своему, божье дело пустеет.

Но самым больным местом старушки были те секты, которые народились и нарождаются на Урале. Этого нельзя было объяснить ни равнодушием к божьему делу, ни отпадением; выходило что-то такое совсем особенное, не подходившее ни под какие рамки. Миропея Михайловна просто отказывалась понимать целую полосу народившихся религиозных веяний, потому что эти последние «новины» казались ей хуже самого заклятого никонианства.

— Воистину пестрая вера пошла! — с каким-то ужасом говорила Миропея Михайловна. — Какие-то «пахтеи» завелись, бегуны эти самые, хлысты... Ох, прости ты, господи, наши великие согрешения! А то вон в Невьянском заводе еще Лучинкова вера завелась... Сказывают, ребят воруют да лучинками до смерти затыкивают, чтобы кровь для причастия добыть.

— Все это сказки, Миропея Михайловна. Невьянские лучинковцы — те же бегуны и де-

тей крадут, чтобы воспитать где-нибудь в лесу, вот как ваш Иванушка.

— Знаю, что басни, только иногда сумление возьмет; вон какой нынче откаткой народ пошел!

Мне особенно часто приходилось встречать в последнее время в бороздинском доме какого-то высокого мужика, который, очевидно, имел большое дело до старушки. Он всегда смиренно сидел в углу на стуле и выглядывал исподлобья; по костюму в нем сразу можно было узнать заводского «мастерка».

— Это еще что у вас за мужик? — спросил я Миропею Михайловну.

— Так, мужичок один... — уклончиво отвечала старушка, строго собирая свои сухие губы. — Из Коробковского завода он будет, — ну, иногда забредет по пути. Надоел до смерти: самый сумлительный мужичонка и упрямый... Господь с ним совсем!..

Видимо, что этот гость был из неприятных, и старушка сильно волновалась после каждого его визита. Однажды я зашел к ней в разгар очень неприятной сцены: Миропея Михайловна бегала с несвойственной ее возрас-

ту быстротой по комнате, размахивала руками и, видимо, сильно горячилась, о чем свидетельствовали красные пятна, выступившие у нее на лице; мужик стоял у окна и смотрел, по обыкновению, в сторону, а при моем появлении сейчас же вышел из комнаты, не простившись ни с кем. Миропея Михайловна от волнения долго не могла выговорить ни одного слова, пока я не принес ей воды.

— Что у вас такое случилось тут? — спросил я, когда старушка немного успокоилась.

— А вот видел мужичка-то? Так вот этот самый мужичок жилы из меня тянет!.. Он из неплательщиков, секта такая есть в Коробковском заводе. Только эти неплательщики жен своих не хотят знать, детишек — тоже, и все шлются на какую-то четырнадцатую статью горного устава, будто там все это обозначено, то есть и насчет податей, чтобы не платить, и относительно жен, чтобы их не считать за настоящих жен.

— Ничего там нет такого, Миропея Михайловна, да и быть не может.

— И я то же говорю. Ну, статочное ли это дело, чтобы начальство такой закон написа-

ло! А вот поди, потолкуй с ними: уперлись об эту четырнадцатую статью, как быки в стену, — и не своротишь. Да и все евангелие на русском языке читают, а старых наших книг и знать не хотят, тоже вот двуперстия... Это как по-твоему?

V

Весной мне нужно было по одному делу съездить по недавно открытой уральской железной дороге в Пермь. Движение только что открылось, и поезд был битком набит публикой, спешившей перебраться в российскую сторону. Я взял билет третьего класса и сейчас же после первого звонка постарался занять место в вагоне «у окошечка». Публика совалась с узлами и дорожными принадлежностями из вагона в вагон, отыскивая места получше. Происходили неизбежные в таких случаях недоразумения и пререкания из-за мест, публика ссорилась, ворчала, на скорую руку прощалась с провожавшими родственниками и знакомыми и вообще сильно волновалась. Напротив меня на скамье поместился неизбежный «купец», без которого вы не обойдетесь ни на одной железной дороге

или на пароходе. Такой купец непременно занимает три места и отстаивает их всеми правдами и неправдами, пока не наткнется на какого-нибудь зубастого обер-кондуктора. Купец везде забрал большую силу и располагается на железных дорогах и на пароходах, как у себя дома, а вся остальная публика служит только некоторым дополнением к нему. Мой купец был достойным представителем своего сословия и держал себя с большим апломбом, обложившись кругом мешками и подушками, точно крепость в осадном положении. Рядом со мной — тоже купец, тоже занял два места и тоже отбивался от осаждавшей публики.

— Занято место... нельзя-с!.. Проходите дальше...

— Да у вас целых три места!

— Это женино место-с, а тут дитю... пожалуйте дальше-с!.. В следующем вагоне даже пустота...

Доверчивые пассажиры тянули к несуществовавшей пустоте, а купцы переглядывались и хихикали. После второго звонка показалась какая-то женщина с мешком в руках, и

я в ней узнал сразу Миропею Михайловну.

— Места ищете, Миропея Михайловна?

— Места... Ах, да я и не признала вас сразу-то! Заморилась совсем, все обзаведение обошла, и нигде не пускают...

— Садитесь вот сюда, — указал я место рядом с собой.

— Занято-с... дитю придет, — попробовал защититься купец.

— Нет уж, пожалуйста, оставьте свои фокусы, ваше степенство... Это моя родственница.

— Сродственница? Ну, так пожалуйте-с, мадам, а я, значит, напротив вас сяду вот к ним... По двое на лавочке и будет!..

Старушка опустила на скамью свой кожаный мешок и как-то безнадежно посмотрела кругом, как ребенок, которого «закружили» и у которого все вертится в глазах. Она была одета по-дорожному, в старую лисью шубку и в тяжелую, теплую шаль. Поместившись на лавочке, Миропея Михайловна истово перекрестилась сама, перекрестила окно вагона и даже купцов.

— Вы не в первый ли раз по железной дороге? — спросил я.

— В первый, голубчик... не бывала сроду, а вот привел господь. Не думала, не гадала, а довелось. До смерти и напугалась: иду по вагонам-то, а сама думаю: вот раздавят... Иду да про себя молитву творю. Ох, согрешила я, грешная...

— А далеко вы собрались?

— Я-то? Уж не спрашивай, голубчик... Сама не знаю, куда еду. Сказывают, язык до Киева доведет... В Москву пробираюсь; не знаю, как господь донесет.

— А как же вы с Афошошкой-то расстались?

— Да ведь нету у меня Афонюшки-то, голубчик...

— Как так?

— Еще перед Рождеством по осени умерла моя голубушка...

Старушка вытерла скатившуюся слезу и замолчала. В это время поезд двинулся, и она торопливо начала креститься, боязливо посматривая в окно, которое застилало клубами черного дыма.

— Ох, страсть какая!.. — зашептала Миропея Михайловна с непритворным ужасом. —

Батюшки, как бы не расшибло... Больно уж стучит да и дым этот... Ежели бы знала, так ни в жисть не поехала бы... Да, по осени, голубчик, преставилась моя Афонюшка... только не совсем будто правильно. Помнишь Иванушку-то? Ну, от него и в землю пошла моя касаточка...; Чуть ведь он ее до смерти не убил, едва живую отняли. Ну, известное дело, много ли ребенку нужно... измял он ее, как медведь. По осени-то в огороде у меня уборка шла — картофель копали, лук резали. Я сама-то в подполье копаюсь, а Иванушка с Афонюшкой в огороде овощь собирают. Только так что-то у меня с самого утра сердце давило... Ну, я нет-нет да и загляну в огород. Все было ничего, а тут прихожу да так и помертвела вся... Иванушка-то завалил Афонюшку в борозду, придавил ее коленом да и душит. Господи, так у меня со страсти даже ноженьки подкосились... Не помню, как я ее вырвала у него; а Афонюшка вся синяя из лица-то, и пена на губах. Ах, грех какой!.. А Иванушка на меня тоже остребенился: я от него с Афонюшкой, он за мной; да ведь я едва ушла от него! Страшный такой, глаза кровяные, трясется...

Ну, отводилась я с Афонюшкой и спрашиваю, что у них такое вышло. Афонюшка и говорит; «Ничего, баушка... Я посмеялась над Иванушкой, что у него картофель хуже, а он меня и принялся душить. Дальше уж не помню»... Сильно он повредил ее тогда, — грудку измял, горлышко издавил; ну, она, Афонюшка-то, и начала чахнуть. Как свеча тает... Все покашливать начала по ночам, нехорошо таково покашливать, да и преставилась.

— А сколько ей лет было, вашей Афонюшке-то? — спросил один из купцов, переглядывавшихся во время этого рассказа.

— Да тринадцатый годок пошел бы на зимнего Николу.

— Так-с... А из себя как она была?

— Да что же, девочка-девочкой... ребенок совсем.

— Нда-с... случается-с, ежели недосмотр. Надо было освидетельствовать...

Миропея Михайловна только теперь поняла, куда гнул купец, и вся вспыхнула: это подозрение оскорбило ее до глубины души, и она только прошептала:

— Что вы, что вы, господь с вами!.. Ребе-

нок, ангельская душа...

— А Иванушку-то вы в суд предоставили? — спросил второй купец.

— Да ведь странненький... как представлять-то?.. Не от ума...

Ну, уж это вы совсем напрасно-с, мадам... Нужно было прямо в окружной, там бы все разобрали.

Нет уж, милушка, господь нас миловал от судов, а на суды и без нас много охотников-то... Меня ведь надо было судить-то, мой недосмотр. Уж легче бы на душе, кабы такой суд где был, а то теперь вот все и думаю да мучаюсь про себя. Два года выжил Иванушка-то у меня, все был ничего, тихий такой да покорный...

— Они, подлецы, все на одну колодку! — заявил первый купец. — Странные-то эти... Все ничего, прихрулится, как путный какой, а потом и облапошит. У нас этак же странница одна жила, Федосьей звали. Ну, для спасения души держали, а она, шельма, запон кожаный у повозки срезала да и убежала с ним... Это прежде странные-то будто точно что бывали, а по нонешним временам... не такие

времена, мадам!..

Поезд мчался по холмистой равнине, которая идет от Екатеринбурга к Невьянску. Далее местность все повышается и за Кушвой вступает в настоящую горную область. По сторонам мелькали небольшие лесистые горки, торфяные болота, полосы воды и там и сям работавшие старатели.

В Невьянске наши купцы вышли.

— Хорошее было место! — печально заметила Миропея Михайловна, поглядывая в окно на расстилавшуюся картину первого по времени основания уральского завода, — Много наших старообрядцев отсюда вышло. Ну, а теперь то же, что и у нас в Займище: умаление и пестрота.

— А вы зачем в Москву, можно узнать?

— Дельце вышло одно, голубчик, — ответила старушка, оглядываясь по сторонам. — Вышло разрешение нам на моленные, значит, можем себе ставить их; ну, и везде ставят по своей силе: у вас в Екатеринбурге, в Тагиле... Еще есть боголюбивые-то народы. У нас в Займище тоже надумали моленную, ну, посудили, порядили и вырядили, чтобы наш бо-

роздинский дом повернуть в моленную. В самой середке он стоит, да и крепко поставлен... Я даром его отдала, потому — куда мне дом-то. Так же стоит, а мне одну каморочку — и довольно. Еще вот Афонюшка-то жива была, так забота с ней, как и что, а теперь... Ну, а нам и не разрешили, начальство не разрешает. Отводят место за жилом. Послали в Питер особенного ходока. Хлопотал он там цельную зиму и пишет, что расходов много и что, главное, надобно сделать какому-то чиновнику ужин с французинкой... ей-богу!.. Пятьсот цалковых на ужин-то просит. Вот я и поехала сама, чтобы без французинки поужинал-то... Надо послужить миру и нашей сестре. Только еду я, голубчик, а сердце у меня не лежит ни к чему... даже весьма это грешно. Как умерла Афонюшка, точно во мне что оборвалось и точно я себе-то чужая стала... Последняя веточка от Бороздинского роду была, и та изгибла. Да и старой вере, видно, тоже конец приходит, хоть там и моленные разрешили: не стало прежнего... пестрота началась.

Странно было слушать эти речи под грохот мчавшегося поезда, да и сама Миропея Ми-

хайловна чувствовала это, с тоской поглядывая на проносившиеся мимо нас синие дали. Все было кругом новое, все торопилось жить, — одна она оставалась в стороне, с глазу на глаз со своим старым горем, от которого ни (уйти, ни уехать, а главное — незачем было больше жить... Что может быть страшнее этого?

Из своей поездки в Москву старушка не вернулась: она умерла где-то дорогой.

Сократ Иваныч

(Глава из романа «Железный голод)

I

...Сократ Иваныч страшно волновался уже целых две недели. Вся петербургская главная контора Загорских заводов тоже волновалась и по той же причине, именно — старика заводовладельца Иннокентия Павлыча Мутнова разбил паралич, и ждали его единственного наследника Павла Иннокентича, который проживал большую часть своего времени за границей. «Старик» Иннокентий Павлыч совсем не был стариком, — ему толь-

ко исполнилось пятьдесят лет, но благодаря широкой барской жизни он представлял из себя ходячую развалину. Выписанный из-за границы знаменитый доктор, которому заплатили за визит двадцать пять тысяч, осмотрел больного, покачал головой и сказал:

— Вы только напрасно бросили ваши деньги, вызывая меня. Этому человеку нужно было умирать восемь лет тому назад...

Заграничная знаменитость не стеснялся и говорил это при больном, который смотрел на него непонимающими глазами и бормотал:

— Пэ-пэ-пэ!..

Сократ Иваныч, в качестве близкого человека, присутствовал при этой сцене, и его душили слезы. «Господи, за что такое божеское попущение? Уж, кажется, Иннокентий Павлыч не делал ли добра — и вдруг все кончено. Добрейшей души был человек, а тут хуже несмысленного младенца. А все эти заграничные дорогие доктора довели... Чуть что — и сейчас за границу. Ох, уж эта заграница, унесла она много веку у Иннокентия Павлыча. Кажется, здоровьем бог не обидел, — когда в

полку служил, все остзейские бароны удивлялись его здоровью, потому как мог целую неделю пить без просыпу, а потом ледяную ванну примет и опять, как стеклышко. Да, была сила, кажется, век бы ее не изжить... Конечно, впоследствии времени, когда Иннокентий Павлыч перешли на одну русскую водку, они сразу начали жиреть и достигли восьми пудов веса, — так что же из того? Бывают господа и еще поувесистее. Ну, а там от театра много Иннокентий Павлыч перетерпели, можно сказать, настоящую муку принимали — и француженки, и балетчицы, и наездницы из цирка».

С другой стороны, жалея «старика», которому служил всю жизнь, как служил его отцу на уральских заводах, Сократ Иваныч рассчитывал что-нибудь получить на свою долю от нового барина, который в заводских делах, конечно, ни в зуб толкнуть. Считая себя самым близким человеком к Иннокентию Павлычу, каким он был в действительности, Сократ Иваныч имел полное основание рассчитывать, что будет как бы по наследству пользоваться благоволением и нового заводовла-

дельца.

«Куда же он без меня-то? — думал Сократ Иваныч, перебирая в уме свои заслуги «старику». — Молоденек еще, в настоящий разум не вошел, да и не господское это дело, чтобы разную черную работу делать».

Заветной мечтой Сократа Иваныча было попасть в почетные опекуны или что-нибудь в этом роде, неответственное, бесконтрольное и всесильное. До сих пор судьба к нему благоволила. Отец Сократа Иваныча был простой заводский фельдшер, влачивший самое жалкое существование благодаря запою. Сократ Иваныч выдвинулся своими редкими способностями еще в заводской школе, откуда его по протекции заводского управляющего поместили в гимназию, а из гимназии он уже сам пробрался в университет, где и кончил юридический факультет. С университетским дипломом в кармане ему, конечно, везде была скатертью дорога, но он вернулся на родной Урал и на своих заводах начал прохождение службы, переходя с места на место по лестнице довольно сложной заводской иерархии. Но все эти ступеньки, в сущности,

не вели ни к чему, как понимал и сам Сократ Иваныч, но он выплыл на свежую воду, когда пришлось ликвидировать заводское крепостное право. Он сразу сделался крупной силой, потому что обставил такими непроходимыми западнями уставную грамоту, что и до сих пор заводское население ведет нескончаемую тяжбу о земле. За этот подвиг Сократ Иваныч был вызван в Петербург, где и был представлен лично самому Иннокентию Павлычу, который ни разу не бывал на своих уральских заводах. В представлении заводского населения владелец заводов был чем-то вроде полубога, и даже Сократ Иваныч испытывал какой-то суеверный страх, когда представлялся ему в первый раз Этот страх усиливался особенно тем, что здесь все говорили только по-французски, а он дальше грамматики не пошел.

— Много слышал о вас... да... — шепеляво говорил Иннокентий Павлыч, тогда еще молодой, но уже обрюзглый от полноты человек, — Да, много... Мне будет приятно работать вместе с вами... да.

Близкими людьми к владельцу тогда были

один остзейский барон и польский граф без титула. Насколько добродушно отнесся сам владелец к своему заводскому самородку, настолько высокомерно встретили его эти приспешники. Они даже не подавали ему руки, и Сократ Иваныч сразу понял, какую борьбу ему придется вынести с этими случайными людьми.

Попав в Питер, Сократ Иваныч потянул новую лямку. Вся контора косилась на него, как на выскочку, и приходилось иметь дело со сплоченным годами, дружным врагом. Много было неприятностей и каверз, пока Сократ Иваныч преодолел все и крепко стал на ноги. Он одевался по-провинциальному и прикидывался простачком, которого только телята не лижут. Именно эта уловка и производила самое выгодное впечатление на Иннокентия Павлыча, который, хлопая верного раба по плечу, любил говорить:

— Самородок ты у меня, Сократ Иваныч... да... настоящий самородок!..

Сократ Иваныч носил старомодные длиннополые, с узкими рукавами, высокой талией и широким воротником сюртуки, пестрые

бархатные жилеты и повязывал шею черной косынкой, брился каждый день и зачесывал волосы по-старинному — височками. За обедом он ел рыбу с ножа, брал соль пальцами, крошил в суп хлеб и шампанское закусывал соленым огурцом. Последнее приводило Иннокентия Павлыча в восторг, и он показывал своим гостям уральского самородка, как редкость. Нужно сказать, что Сократ Иваныч никогда не унижался перед своим владыкой и вообще держал себя с большим достоинством. В конторе он скоро сделался силой, так что недавние враги стали заискивать перед ним и скоро почувствовали на себе его тяжелую руку. Но Сократу Иванычу контора совсем не была нужна; у него были другие планы и мысли, слишком далекие от канцелярской работы.

Благодаря протекции владельца, Сократ Иваныч сделался известным и в «сферах». С ним начали советоваться по заводским делам настоящие особы, дельцы и даже ученые люди. Последним шагом было его появление в ученых обществах, где трактовались вопросы отечественной промышленности и где со-

ставлялись всевозможные ходатайства. Сократ Иваныч и здесь не потерялся, хотя и считал нужным скрывать полученное им университетское образование. Он говорил по-сибирски на «о» и любил уснащать речь народными поговорками. Орудовавшие здесь представители науки совсем не знали провинции, и Сократ Иваныч для них сделался незаменимым, золотым человеком, тем более, что он всегда точно прятал самого себя, оставляя ученым людям приятную уверенность, что они додумались до всего своим собственным умом. Он никуда не лез, не втирался, не искал протекции, не домогался влиятельных связей, а шел по своей собственной дороге спокойно и уверенно, как работает хорошо налаженная машина. Кончилось тем, что Иннокентий Павлыч начал гордиться своим самородком и слепо верил каждому его слову. И Сократ Иваныч не обманул этого доверия, потому что от чистого сердца работал в интересах процветания фамилии Мутновых.

— Это мой Ришелье, — говорил про него Иннокентий Павлыч. — Уж он вывезет из всякой беды... Другого такого человека не найти.

В скромной деятельности Сократа Иваныча была прямо блестящая эпоха, именно — в разгар промышленного прогресса России, когда воссияли железнодорожные концессионеры и нарождались всевозможные акционерные общества, банки и предприятия, как грибы после дождя. Это был великий промышленный праздник, когда из ничего создавались миллионы. Приглашали и Сократа Иваныча на этот пир, но он скромно отказался.

— Где уж нам с суконным рылом в калашный ряд. Со своими-то делишками дай бог управиться...

А делишки у Сократа Иваныча были не маленькие. После эмансипации[322], когда отошла даровая живая рабочая сила, нужно было ее чем-нибудь заменить и заменить так, чтобы миллионный дивиденд Иннокентия Павлыча не умалился ни на одну йоту. Последнее было слабостью Сократа Иваныча. Там, где-то далеко на Урале, делались сокращения, урезки, тысячи мелочных прижимок, а здесь, в Петербурге, получался желаемый миллион ежегодного дохода. Сократ Иваныч все предусматривал, все предвидел, и на все у него бы-

ло свое средство, хотя и приходилось трудненько. Нужно было заменить расход на живую заводскую силу чем-нибудь новым. Сократ Иваныч понимал, что он, как один человек, бессилен, и что нужно было создать артель, как он называл синдикаты. Конечно, дело было нелегкое, потому что свои уральские заводчики тянули кто в лес, кто по дрова, и приходилось тащить их чуть не за волосы.

В самый критический момент, когда Сократ Иваныч готов был прийти в отчаяние, выручили его американцы, которые привезли в Нижний на ярмарку листовое кровельное железо по 1 р. 20 к. за пуд, тогда как уральское не могло продаваться дешевле 4 рублей. Американское дешевое железо произвело настоящую панику среди уральских горнозаводчиков и поневоле сплотило их. Результатом этого получилась та высокая пошлина на заграничный чугун, благодаря которой пуд чугуна, стоивший в Лондоне 14 копеек, в Петербурге стоил 1 рубль. Разница в этих ценах оставалась в карманах уральских горнозаводчиков, что делалось в интересах преуспеяния русского горного дела, потому

что «Россия для русских». В переводе покровительство заводчикам означало то, что русский народ ежегодно должен был выплачивать заводчикам minimum двадцать миллионов рублей — «не пито — не едено», как выражался Сократ Иваныч.

II

Года за три до паралича Иннокентия Павлыча в русском заводском деле произошел неожиданный крутой переворот, которого не предвидел даже Сократ Иваныч. Вышло так, что китайской стеной пошлин на привозный из-за границы чугун они не только не обеспечили себя, а даже послужили на пользу заграничной конкуренции. Хитрый иностранный человек перевел свои капиталы в Россию, настроил на юге заводов и преспокойно начал откладывать в свой бездонный заграничный карман заграничную пошлину, увеличивая производство с невероятной быстротой. Даже веривший всему, что скажет Сократ Иваныч, Иннокентий Павлыч заметил ему:

— А ведь того, Сократите, мы, собственно, для них поработали... А? Они в наши готовые сани сели, да и поехали... Теперь уж они вы-

рабатывают столько, сколько мы вырабатываем при всех наших привилегиях, при даровой земле, лесах и водяных двигателях, при фабриках, созданных еще даровым крепостным трудом, а через десять лет будут вырабатывать втрое больше нашего и сожрут всю заграничную пошлину. Так я говорю?

— Да-а... вообще... — бормотал Сократ Иваныч, — А мы что-нибудь придумаем...

Звезда Сократа Иваныча пошла к закату, чего не желал замечать только он один. В петербургской конторе уже чуть не в глаза смеялись над ним, особенно главный заводской юрисконсульт Мирович, человек неизвестного происхождения, выросший у него под носом совершенно незаметно, как вырастают новые зубы. Когда Иннокентия Павлыча хватил паралич, юрисконсульт при всех сказал всесильному Сократу Иванычу:

— Ну, ваша песенка спета, многоуважаемый... Вы создали в России железный голод, а придется его расхлебывать уж другим.

Сократу Иванычу пришлось вынести в жизни много, и он только улыбнулся. Очень уж смел юрисконсульт — видно, из молодых,

да ранний... Не таких фендриков обламывали. Обиднее всего было то, что на стороне юрисконсульта были все служащие в конторе, чего, как опытный служака, Сократ Иваныч, конечно, не мог не замечать. Но у него уже выработалась логика избалованного счастьем человека, и он отнесся к общественному мнению своего заводского муравейника свысока. Поболтают и перестанут. Даже на юрисконсульта Сократ Иваныч не мог рассердиться по-настоящему, потому что тот умел говорить все в каком-то шутливом тоне.

«Погодите, вот приедет молодой барин, тогда увидим... — думал про себя упрямый старик. — Легкое-то перо поверх воды плавает...»

Но все-таки Сократ Иваныч волновался, особенно, когда молодой барин известил о своем приезде не его, а контору. Иннокентий Павлыч, когда уезжал на теплые воды, никогда так не делал.

Время тянулось ужасно медленно, хотя, кажется, терпению можно было научиться при безалаберном Иннокентии Павлыче, у которого всегда было семь пятниц на неделе. Вот так же напишет, что выезжает завтра, а по-

том и жди его. Сократу Иванычу случалось дежурить на варшавском вокзале по целым неделям.

Можно себе представить изумление старика, когда ему доложили, что молодой барин приехал.

— Когда приехал?!..

— Да уж, почитай, дня с три, — ответил его собственный секретарь.

— Три дня?!.. Не может быть...

— Верно-с, Сократ Иваныч...

— Как же меня не известили?..

— Барин устали с дороги и приказали никому не говорить о своем прибытии. Даже в конторе никто не знал-с... В том роде, как инкогнито.

Сократ Иваныч полетел в контору. Оказалось, что там все знали, когда приехал владелец, а юрисконсульт Мирович заметил:

— Что же тут особенного, Сократ Иваныч? С каждым поездом люди приезжают из-за границы, и я не раз приезжал... Очень просто.

— Да да... бормотал растерявшийся старик. — Конечно, бывает... Иннокентий Павлыч тоже приезжал... да. Случается...

Самые маленькие служащие, еще недавно трепетавшие пред всесильным Сократом Иванычем, теперь хихикали над ним, даже не закрывая рот ладонью. Крышка Сократу Иванычу...

Новый владелец, во избежание беспокойства, остановился не в собственном доме на Васильевском острове, а в Европейской гостинице, что показалось Сократу Иванычу кровной обидой. Что же это такое в самом деле, точно приехал какой-то бедный родственник, который не знает, куда ему голову преклонить. Сократ Иваныч отправился прямо из конторы в Европейскую гостиницу и попросил доложить о себе. Вышел англичанин-камердинер, презрительно оглядел его с ног до головы и даже не удостоил ответа, хлопнув дверью под самым носом Сократа Иваныча. Оставалось только вытолкать его, Сократа Иваныча, в шею...

— Господи, что же это такое? — застонал он. — Это... это... Всю жизнь верой и правдой служил... И вдруг...

Сократ Иваныч послал свою визитную карточку и получил ее обратно.

— Никого не велено принимать, — докладывал лакей. — Они еще изволят почивать...

— Да ведь сейчас скоро два часа?

Сократ Иваныч написал письмо и не получил ответа.

Свидание состоялось только через несколько дней. Молодой владелец написал сам Сократу Иванычу, что ждет его вечером, в девять часов. Когда Сократ Иваныч приехал, то был неприятно изумлен, что у Павла Иннокентича сидит Мирович и что, следовательно, не может быть настоящего, серьезного разговора.

— Ах, очень рад, — говорил Павел Иннокентии, пожимая руку Сократа Иваныча. — Я хорошо помню вас... Прежде вы носили усы... да?

— Нет, не случалось, Павел Иннокентич.

— Ну, так баки или что-то в этом роде...

Павел Иннокентич имел наружность заграничного коммивояжера и по-русски говорил с сильным акцентом. Из наследственных признаков оставалась одна барская шепелявость, усиленная вставными зубами. Мирович смотрел на Сократа Иваныча со своей

обычной улыбкой. Старик про себя обругал его прохвостом, который успел забежать вперед и предупредил его. — Да, рад... — повторял Павел Иннокентич, решительно не зная, что ему говорить с главным уполномоченным отца. — Решительно, я помню вас... Тогда вы не выпускали изо рта сигары.

— Сроду не курил, Павел Иннокентия.

— Да? Значит, у вас такой вид, как будто вы постоянно курите сигары...

Разговор получался совсем шуточный, как обыкновенно говорил Мирович. Сократ Иваныч тоже не знал, что ему говорить. Выручил Мирович, который со свойственным ему нахальством проговорил:

— А мы только перед вами, Сократ Иваныч, вели беседу с Павлом Иннокентием о нашем русском железном голоде... — Именно... да! — подхватил, обрадовавшись, Павел Иннокентия. — Ведь вы, Сократ Иваныч, если можно так выразиться, были одним из авторов этого голода...

— Помилуйте, куда уж мне, — скромно отказался Сократ Иваныч, отмахиваясь рукой. — Поумнее нас найдутся в Санкт-Петер-

бурге люди... Старался — это было, ничего не жалел.

— Знаю, знаю... — перебил его владелец. — В прошлом году по вашему предписанию было составлено на моих заводах пять тысяч протоколов по части этих... этих... ну, как они по-русски называются?

— Покосы и лесные росчисти... — поправил Сократ Иваныч. — Собственно, нам онн не нужны, но нужно было нарушить право давности владения заводских мастеровых... Нам от этих протоколов один убыток. Специального адвоката наняли... гербовых марок сколько истрачено...

— Одной бумаги истрачено сто стоп, — прибавил Мирович. — Это тоже чего-нибудь стоит... чернила... Адвокат свои сапоги износил.

Сократ Иваныч замолчал, огорченный до глубины души этим шутовством.

— Нет, поговорите серьезно, — начал Павел Иннокентия, чистя свои ногти щеточкой. — Да, серьезно... Я знаю положение наших заводских дел и... и не желаю себя обманывать. Наше положение вполне критиче-

ское, то есть уральских заводчиков, и мы стоим на краю обрыва. Не правда ли? Скажу больше: мы собственными руками создали себе конкурентов. Я знаю, Сократ Иваныч, что вы серьезно и плодотворно поработали в этом направлении... Нашу пошлину преспокойно кладут в карман южнорусские горнозаводчики, а потом они достигнут перепроизводства и будут играть на понижение железных цен. Кажется, я выражаюсь ясно? Нам с ними трудно будет конкурировать, вернее сказать — невозможно, потому что за них всесокрушающая сила европейского капитала. Не трудно предвидеть и близящийся результат, то есть полное обесценение наших уральских горных заводов...

Нет, уж это вы позвольте... — вступился Сократ Иваныч, забываясь, что перебивает «самого».

Позвольте досказать... — мягко остановил его Павел Иннокентия. — Для чего обманывать себя? Наступает эпоха железного голода самих заводчиков, то есть ка Урале. Пока мы не создали себе счастливых конкурентов на юге, мы были в цене, как единственные про-

изводители железа, а теперь роль переменилась. Но это еще цветочки, а ягодки впереди, — нашим конкурентом явится вся Сибирь, которая до сих пор служила для нас рынком. Мы потеряли все до одного южные рынки, а сейчас теряем Сибирь...

Павел Иннокентия говорил совершенно спокойно, продолжая чистить ногти. Сократ Иваныч хотел что-то возразить, но был остановлен.

— Позвольте, я доскажу свою мысль... Мне кажется, что мы упустили удобный момент, когда можно было продать заводы.

— Продать?! — в ужасе спросил Сократ Иваныч, не веря собственным ушам.

— Да, продать, — ответил спокойно Павел Иннокентия, не глядя на Сократа Иваныча. — Страшного ничего в этом нет... Вещь самая обыкновенная. Конечно, продать не так, как продают лошадь, а предварительно устроить акционерную компанию и т. д. Понимаете?

— Но ведь заводы посессионные, Павел Иннокентия?

— Вот в том-то и дело... Это тормозит развитие настоящего русского железного дела, и

в этом смысле мы должны были действовать сейчас же после эмансипации, когда всякий мужик получил землю. О, тогда была эпоха широких экономических перспектив, а для государства каких-то несчастных тридцать миллионов десятин — пустяки...

— Совершенные пустяки, — подтвердил Мирович, раскуривая сигару.

Сократ Иваныч хотел что-то опять возражать, но у патрона явился сонный вид, и аудиенция кончилась.

— В другой раз как-нибудь мы кончим беседу, — заявил он, щупая свои виски. — Да, в другой... У меня невралгия.

Это была принятая им манера избавляться от надоедливых людей. Когда дверь за Сократом Иванычем затворилась, Павел Иннокентия понюхал какого-то спирта, улыбнулся и весело проговорил по-французски:

— Что я такое говорил сейчас этому старому дураку?

— Ничего, все правильно, — успокоил его Мирович. — Необходимо его подтянуть с первого раза... В сущности, в нем сейчас столько же нужды, сколько в гнилом зубе, который

только мешает.

III

Сократ Иваныч вернулся домой в совершенно оглушенном виде, точно его ударили обухом по голове. Он понял теперь, почему Мирович говорил, что его песенка спета. Да, все было кончено. Вероятно, его место при новом владельце и займет вот этот самый прохвост Мирович. А сколько было трудов, хлопот, неприятностей, чтобы Мутновы получали с заводов свой миллион дохода. Сократ Иваныч в буквальном смысле выжимал его из заводов, высчитывая каждую копейку. Он был предан безгранично своим владельцам, сохранял в крови то крепостное право, в котором родился. Это был добровольный раб, не щадивший ничего, чтобы только возвеличить своих патронов.

И вдруг — нет ничего, точно оступился в яму.

— Продать заводы... акционерная компания... — бормотал Сократ Иваныч, шагая по своему кабинету.

Старик понимал, что ему незачем самому идти к новому владельцу и что нужно вы-

ждать время, когда он одумается и сам его призовет. Конечно, призовет... В этом случае Сократ Иваныч, — нужно отдать ему справедливость, — меньше всего думал о самом себе. Что ему — есть у него и свой домишко на Петербургской стороне, за который по случаю заплачено семьдесят тысяч, есть дача в Павловске, есть на черный день и маленькие деньжонки — тысчонок триста. Детей у него не было, а была только одна жена Анфуса Даниловна, из своих, уральских. Для двоих за глаза всего хватит.

«Ничего мне не нужно, — с тоской думал отвергнутый патроном старик. — А для заводов мог бы поработать, и еще пот как поработать... Да, куда угодно пошел бы к другим заводчикам, и сейчас бы назначили тысчонок тридцать в год».

Но разве можно изменить Мутновым? Сократ Иваныч не мог себе представить, как заводское дело могло идти без его руководства. Конечно, стоит ему только уйти, как все пойдет через пень колоду. Земля-то ведь под заводами, в сущности, казенная, и заводское население давно хлопочет о наделе. И дадут на-

делы... Тогда Павел Иннокентич вот как вспомнит Сократа Иваныча... Придет да еще в ножки поклонится. А теперь какой разговор: продать!

Целый месяц Сократ Иваныч ждал, ждал и думал и, наконец, придумал. Это было утром. За утренним чаем он несколько раз повторял:

— Железный голод... хе-хе! Вот я вам покажу, какой бывает железный голод... да-с.

Жена смотрела на него удивленными глазами, ничего не понимая. Она вообще ничего не понимала в его делах да и не интересовалась ими.

Чему ты радуешься-то? — спросила она.

А радуюсь, потому что весело... хе-хе!.. Придумал одну веселенькую штучку... Только я к этому форсуну, Павлу Иннокентичу, не пойду. Шалишь... Вот тебе хомут и узда, а я тебе не слуга.

Сократ Иваныч наскоро оделся и отправился к старому барину, у которого уже не был давненько. Больной, конечно, был дома, забытый всеми. Домашний врач еще спал, и Сократ Иваныч вошел без доклада. Больной

сидел в раздвижном кресле и даже не посмотрел, кто вошел в комнату.

— Голубчик, Иннокентий Павлыч, ведь это я... — говорил Сократ Иваныч, трогая его за плечо.

Больной повернулся к нему лицом и забормотал:

— Пэ-пэ-пэ!..

— Да, да, я самый!..

Придвинувшись совсем близко и оглядевшись осторожно кругом, Сократ Иваныч заговорил, быстро роняя слова:

— А ведь я придумал штуку, Иннокентий Павлыч. Теперь, значит, крышка всем этим южнорусским заводчикам. Будет, поиграли... Пора и честь знать.

Больной проявил желание подремать, и его голова свесилась на один бок, но Сократ Иваныч взял его за плечо и заставил слушать.

— Пэ-пэ-пэ! — уже сердито бормотал он, напрасно стараясь освободиться.

— Совершенно верно-с, Иннокентий Павлыч, изволили выразиться: мы им пропишем пэ-пэ!.. И как просто все... — Он придвинулся еще ближе и прошептал больному на ухо: —

Ведь Россия для русских... да? Мы этих южнорусских заводчиков и заставим принять православие, да чтобы по два раза в год каждый говел... Так-с? Народ все упрямый, ну, они и уберутся в свою заграницу, как тараканы из нетопленной избы...

В дверях стоял доктор и отчетливо слышал все, хотя Сократ Иваныч и говорил шепотом.

«Ну, и этот готов», — думал он, поднимая брови.

В последний раз

(Повесть)

I

Маремьяна Власьевна убиралась на дворе и ворчала:

— Тоже, гость называется... И гость свое время должон знать. А мой-то Семеныч и рад лясы точить хоть до утра... тьфу!.. Вон и двор не прибран, и овса надо прикупить, и сена только-только осталось; а вдруг обоз придет?.. С гостями-то просидишься как раз...

Высокая, рослая и полная женщина, Маремьяна Власьевна не походила на загнанную

бабу и напрасно жаловалась на мужа. Так просто хотелось поворчать бабьим делом.

Она несколько раз заглядывала в окошко чистой половины, где останавливались проезжающие почище, и видела, как за большим самоваром, какие подают только на постоялых дворах, сидит все та же компания: муж Гаврила Семеныч, сосед Огибенин и проезжий гость, плотный, немолодой человек, одетый по-городски, в серое суконное пальто, подпоясанное гарусным шарфом.

— И о чем, подумаешь, разговаривают... тьфу! — ворчала Маремьяна Власьевна, проходя сенями в мелочную лавочку, где торговала вдовая дочь Душа.

Ей казался подозрительным неизвестный гость. Ох, и нанесет худого человека, тоже не обрадуешься; а Семеныч прост!

— За водкой не посылали, Душа? — спросила она сердито.

— Гость посылал, а только тятенька не пьет. Огибенин так рюмку за рюмкой и хлещет.

— Ну, этому в самый раз!

Маремьяна Власьевна присела на скамееч-

ку и с жалостью посмотрела на дочь. Какая-то она ледащая да нескладная вся и старше своих лет кажется. Уж, кажется, голодом никто но морит, и работа не тяжелая сидеть в лавке, а все чахнет. Вон купчихи или торговки на базаре — в коже места нет. Напустил кто-нибудь на Душу сухоту, не иначе дело. Мало ли худых людей на свете!

На «чистой половине», действительно, шел самый оживленный разговор. Старик Огибенин, с испитым хищным лицом и жилистой шеей, горячился больше всех, размахивал руками и выкрикивал хриплым голосом:

— Господи, да ежели бы сила-мочь, да всю бы округу перевернули вверх дном!

Хозяин Гаврила Семеныч держал себя солидно и говорил сдержанно, поглаживая окладистую темную бороду. Он сидел в одном жилете с ситцевой рубахой-косовороткой навыпуск, как носят городские мещане. Худощавый, высокий, с решительным взглядом небольших серых глаз, он производил впечатление именно солидного человека, видавшего виды. Даже и чай он пил как-то солидно,

не торопясь, аккуратно откусывая сахар. Гость был купеческой складки, коротенький, с заплывшими глазками и гнилыми зубами... Время от времени Огибенин в подтверждение своих слов обращался к нему:

— Уж Гаврила Семеныч знает, он всю округу наскрозь знает...

— Чего же тут не знать? — скромно отзывался Гаврила Семеныч. — Всем известно, слава богу... Кто не знает, отчего разорились Курчаевы? И очень просто... У них золото шло гнездовое, а они разведку закатили по всей россыпи шахматом. Ну, где шурфом-то угодишь прямо на гнездо?.. Бились-бились, денег издержали уйму, а под конец и обессилели. Тыщ пять проработали, а потом едва за пятьсот рублей продали прииск Мелькову.

— А тот близко восьмидесяти тысяч нажил, — дополнил гость хозяйскую речь. — Действительно, дело известное... Может, и не хватало-то сотни, другой.

— Вот-вот! — выкрикивал Огибенин. — Тоже взять Теленковых... Верное дело было, натакались[323] на постоянную жилу, а силенки-то и не хватило!

— Ну, у Теленковых особь статья вышла, — остановил его Гаврила Семеныч. — Несуразный человек сам-то Арефий... Ему все подавай дело с маху, а это не манер. Золото-то к рукам идет тоже, а не зря.

Оказалось, что гость хорошо знал и дело Теленковых... Справная была семья, а теперь вконец изнищала.

— Подвел их Лука Саввич Прохоров, — объяснил он, покачивая головой. — Все обещал помочь, а как дело коснулось, — он сейчас, например, в кусты. Теленковы-то и остались на бобах.

Маремьяна Власьевна не утерпела и вошла в избу, чтобы послушать, о чем говорят. По выражению лица мужа она догадалась, что и он относится к гостю недоверчиво. Это ее успокоило. Старуха недолюбливала вообще этих проклятых разговоров о золоте.

— Все-то у вас золото на уме, — проговорила она, не обращаясь лично ни к кому. — Аники-воины!

— И будет золото, кума!.. — заплетавшимся языком ответил за всех Огибенин. — Ивана Панфилыча Оглоблина забыла? Вот так же си-

дел со мной на лавочке и даже очень горевал; последний у тещи вымолил четвертной билет; а теперь на тройке разъезжает, дом двухэтажный имеет... Вот оно какое, золото-то, бывает!

— Это ему, надо полагать, теща наворожила золото-то, — заметил с улыбкой гость. — Не иначе дело... От ихнего брата, баб, тоже много зависит, ежели другой человек ослабеет и начнет бабу слушать.

— А вот это уж ты напрасно говоришь! — сердито оборвала Маремьяна Власьевна шутливого гостя. — У мужиков-то у всех одна вера: поколь у него деньги, так и шире его нет; и жена нипочем; а коль промотал деньги, — ну, сейчас оглобли-то и поворотил к жене.

Гаврила Семеныч не вступался в этот разговор, а только нахмурился. Не любил он пустых бабьих слов.

Маремьяна Власьевна отлично знала, что такое значит, когда муж молчит, и ушла.

Весенний день кончался. Гаврила Семеныч зажег жестяную лампочку и молча слушал пьяную болтовню захмелевшего Огибенина.

— Эх, и нет же лучше места, как наш Миясский завод! — повторял старик, точно кто-нибудь с ним спорил. — Вот какое местечко господь уродил: направо — золото, налево — золото, кругом золото... На, получай, ежели у тебя есть умственность! Конечно, Златоуст — город, например, и Челяба — тоже, а какая им цена? Так, одно звание... По всему Уралу такого угодного места не сыщешь, как наш Миясский завод! Так я говорю, Гаврила Семеныч?

— Говорить все можно, — уклончиво ответил Гаврила Семеныч, поглаживая бороду. — Мало ли золота по Уралу, особливо на севере...

— Ах, то совсем даже наоборот, Гаврила Семеныч... — захлебываясь, спорил Огибенин, — Бывать не бывал, а только слухом земля полнится. И золото тоже золоту рознь... Возьми теперь в степе золото, ну, Кочкарь — опять свой манер, а супротив нас не выйдет!

— Получше нашего-то будет, — вставил свое слово гость. — И даже весьма получше... В Кочкаре жильное золото работают, ему и конца-краю не будет. Возьмите промысла Подванцева или Екатеринбургский прииск:

на сто лег золота хватит. Да... А у вас кругом все россыпи. Сегодня есть, а завтра — тю-тю!

— К казенному золоту большие деньги нужны, — объяснял Гаврила Семеныч. — Чего одна шахта стоит? А тут паровую машину ставь, чтобы воду отливать, тут тебе бегуны и прочее. Больших это все тысяч стоит.

Разговор завязался серьезный, и были разобраны все золотые промыслы Южного Урала по ниточке, где, что и как. Особенно хорошо были известны ошибки неудачников золотого дела.

— Да что тут говорить! — заявил Гаврила Семеныч, поднимаясь с лавки. — Я сам раз с пять зорился на этом самом золоте и могу вполне соответствовать.

Откуда-то явилась вторая бутылка водки, и Гаврила Семеныч «разрешил». После двух рюмок он сразу раскраснелся.

— Что вы меня учите? — говорил он. — Ученого учить — только портить... Сами отлично все можем понимать и соответствовать. Тоже на золоте выросли сызмальства... Слава богу, всяких народов насмотрелись вполне достаточно и можем понимать, что и

к чему. Всю округу вот как понимаем...

— Ах, господи! — подобострастно выкрикивал Огибенин. — Ежели, примерно, родительского дома не пожалели, Гаврила Семеныч...

— А что мне родительский дом? — азартно заговорил Гаврила Семеныч, ударив себя в грудь. — Своих трех домов не пожалел... да! Ежели считать, так и не сосчитаешь, сколько тут капиталу убито. Одним словом, зараза! Нет, брат, я это дело вот как знаю!..

Он даже стукнул кулаком по столу. Гость тоже раскраснелся и смотрел на него прищуренными, улыбавшимися глазами.

— Да, что же делать! Случается... — соглашался он, потирая жирной ладонью свою круглую коленку.

— Бывает?! — уже выкрикивал Гяврила Семеныч. — Конечно, дураков учат и плакать не велят... Верно!.. Ну, а теперь пусть кто-нибудь надует Гаврилу Семеныча Поршнева? Хе-хе!..

II

Гость остался ночевать.

— Кто он такой будет? — спрашивала Маремьяна Власьевна мужа. — Откуда взялся?

— А кто его знает, — уклончиво ответил

Гаврила Семеныч. — Сказывал, что с Соймин-ских промыслов едет в Кочкарь.

— А зовут как?

— Зовут-то Егором Спиридонычем Катае-вым. По торговой части занимается...

— Оно как будто и не похоже. Очень уж он допытывался о нашем миясоком золоте...

— Кто его знает, что у него на уме? Сказы-вал, что едет куда-то на Балбук... Пали слухи, будто башкиры обыскали золото в верховьях реки Белой.

— Вот, вот!.. В самый раз ему прикачну-лась печаль о чужом золоте!

— Не наше дело, — строго остановил жену Гаврила Семеныч, — Мало ли чужестранных народов у нас по золотым промыслам окола-чивается! Может, у него легкая рука на на-ше-то золото. Случается... Вон екатеринбург-ские купцы как поднимают Кочкарь: деньги прямо лопатой гребут. Из Невьянска тоже и протчие...

Утром на другой день Гаврила Семеныч поднялся рано, как всегда, наскоро напился чаю и ушел с гостем на базар. Последнее опять обеспокоило Маремьяну Власьевну.

А весеннее утро было отличное. Стояли последние числа апреля, и снег везде стаял. Начали распускаться вербы и березы. По низинам около воды высыпала первая зелень. Улицы в Миясоком заводе в буквальном смысле тонули в грязи, и возы с кладью приходилось иногда добывать из нее бастрыгами и прочим дрекольем.

— Время-то какое... а? — повторял Катаев, любовно глядя на далекую линию гор. — Вода тронулась... Самое время теперь работать на промыслах. Огнем горит работа...

— Это уж что говорить, — соглашался Поршнев. — Вся сила в воде... Так, говоришь, обыскали башкиришки золото на Белой?

— Богатое золото, сказывают... В самой верхотине реки, где она выпадает под Чи-Ташем.

— Случалось, бывал. Это за Теребинском будет... Ох, и народец только там живет, первые воры на всю округу!

— Ну, и по другим местам тоже рта не разевай, Гаврила Семеныч! Известно, промыслы...

— Да, случается... Я еще на Кумышаке бы-

вал, Егор Спиридоныч.

— Ну-у?... Катаев даже остановился. Даже в летописях Южного Урала, где добыто много золота, прииск Кумышак являлся чем-то сказочным.

— Да, был... В горе башкиришки обыскали вот какую жилу! Прямо наверх вышла. Ну, только башкиришкам от нее ничего не досталось, потому как дачато приграничена к Балбуку, значит, Базилевскому. Работы поставили кое-как, — смешно было смотреть... Кварц-то был облеплен золотом, точно пчелами. Его толкли прямо в чугунных ступах, и не золото толкли из кварца, а кварц из золота.

— Пудов с десять золота добыли, сказывают?

— Около того... А как поставили настоящие работы, — шахту ударили, бегуны устроили и прочее, — жила сразу изубожилась.

— Расщепилась?

— Да... Много тут денег даром было потом-то заколочено, да толку не вышло.

— Это уж всегда так бывает, ежели в жиле видимое золото. Выбрали гнездо — и прощай! В настоящей крепкой жиле крупинки не уви-

дишь золота...

На базаре Катаев обошел все лавки, где можно было купить разную приисковую снасть: ломы, лопаты, кайлы, веревки и т. д. Он приценялся к товару, и видно было, что человек знает свое дело до точности. Поршнев указал ему, где можно заказать тачки, приисковые таратайки, вашгердты, насосы. В общем всего на прикидку выходило рублей на шестьсот с хвостиком, да еще надо было прикинуть провоз.

— Ну, провоз-то пустое, — заметил Катаев. — Все равно придется купить штук пять своих лошаденок, три — четыре телеги, — сами свезем.

Прикинув все в уме, Поршнев сообразил, что дело по расчету подходит к тысяче рубликов. «Ох, круглая денежка!..» Про себя он даже пожалел Катаева. Как раз мужик в петлю головой залезет, а что будет — еще неизвестно. Но ему нравилась обстоятельность гостя и какое-то особенное, деловое спокойствие. Вот таким людям и золото в руки... В душе Гаврилы Семеныча заныло что-то забытое, старое, обидное. Он припомнил свои личные неуда-

чи и последовательный ряд разорений. Конечно, глуп был, не понимал настоящего дела, да и добрые люди помогли.

Домой с базара они вернулись только к обеду. Гость остался еще на день, чтобы выехать завтра пораньше утром. За обедом опять шли разговоры о золоте и промысловом деле.

— Да будет вам! — ворчала Маремьяна Власьевна. — Слушать-то тошнехонько...

— А ты и не слушай! — резко оборвал ее Гаврила Семеныч, начинавший сердиться на жену. — Ведь никто не неволит. У нас свои разговоры, и не вашего бабьего ума это дело.

Маремьяна Власьевна обиделась и замолчала. Но Гаврила Семеныч разошелся и, стукнув кулаком по столу, проговорил:

— И те дураки, кто вашего брата, баб, слушает!.. Да... А я вот возьму да вместе с Егором Спиридонычем и махну на Белую. Ей-богу, уеду!.. Что я тут сижу дома, как чирей?! С постоялым-то и без меня управишься; а я, даст бог...

— Гаврила Семеныч, голубчик, не снимай головы! — завопила Маремьяна Власьевна,

бросаясь в ноги мужу, — Прости глупую бабу на скором бабьем слове!..

— Ладно, отвяжись!.. Довольно уж мне тебя слушать-то. Досыта наслушался... Добрые люди дело делают, а я сижу да свою бабу слушаю! А вот поеду — и конец тому делу!

Из кухни, где обедали, дверь со стеклянным окошечком вела в лавку, чтобы на всякий случай видно было, что там делается. Когда в этом окошечке показалось испуганное лицо Души, Гаврила Семеныч окончательно рассвирепел и, оттолкнув валявшуюся у его ног жену, набросился на дочь:

— А тебе что нужно?!.. А?!.. Да я вас всех вот как распатроню!..

Одним словом, Гаврила Семеныч так разошелся, что гостю пришлось его успокаивать:

— Перестань грешить, Гаврила Семеныч! И разговор-то самый нестоящий... Ну, съездим, ну, посмотрим, а там, примерно, как есть ничего нет, — ну, с теми же глазами и домой возворотимся. Ты, Маремьяна Власьевна, даже совсем напрасно беспокоишься... Надо сказать так: сейчас все реки играют, а нам надо переезжать через реку Урал. Положим, она в

верхотине даже очень невеличка, и курицы ее вброд перейдут; а по веснам она вот как играет, когда с гор полая, вешняя вода скатится. Не дай бог!.. А мостишко дрянной, — по нему, пожалуй, сейчас и не проедешь.

— Да я ничего, поезжайте с богом!.. — со слезами в голосе говорила Маремьяна Власьевна. — Я ведь не перечу.

Несмотря на эти умиряющие слова, Гаврила Семеныч все-таки не мог успокоиться и тяжело дышал. Он не верил притворному согласию жены.

Как на грех, в самый критический момент в дверях показалась голова старика Огибенина. В обыкновенное время Гаврила Семеныч не обращал на него внимания и даже относился к нему, как к пустому и нестоящему человеку, а тут так и набросился, точно родной брат пришел.

А старик... то есть в самый раз!.. Ах ты, мой милый!..

Обняв ничего не понимающего Огибенина, Гаврила Семеныч любовно проговорил:

— Вот человек... Господи, да ежели бы ему деньги!.. Так говорю, Савва Яковлич?

— Действительно, Гаврила Семеныч... весь изнищал... — бормотал Огибенин. — Можно сказать, превратился в образ червя, который одной землей питается...

— Вот, вот!.. Ничего, старик, в некоторое время ты нам пригодишься. Егор Спиридоныч, да это такой... такой человек, который, пряменько сказать, на два аршина под землей видит. Что поделаешь, беднота заела... Вот и пропадает, как червь... Мы и его с собой захватим, Егор Спиридоныч! У меня и тележка подходящая есть... Заложим парочку и махнем. Огибенин за кучера...

Огибенин охотно соглашался со всем и только опасливо поглядывал на Маремьяну Власьевну, которая сидела в стороне на лавке и не вступалась больше в разговор. Она рассчитывала умолить мужа ночью. Они по старинке спали на одной перине, и без свидетелей легче было говорить. Но Гаврила Семеныч увел гостя на чистую половину, велел поставить самовар, и Маремьяна Власьевна не могла его дождаться.

— Ох, беда бедовая!.. — плакала старушка. — Головушка с плеч...

III

Утром поднялись чем свет. Гаврила Семеныч торопился, точно на пожар. Маремьяна Власьевна не утерпела и накинулась на него:

— Бога ты не боишься, Гаврила Семеныч!.. Кто мне пред образом клялся, что в последний раз на золоте разорился? А ты опять за то же... Всё разоришь и всех по миру пустишь!

Поршнев собирался молча, не обращая внимания на жену, что ее окончательно вывело из себя. Когда он стал запрягать в телегу гнедого киргиза, она схватилась за узду.

Не дам Гнедка!.. Мой Гнедко!.. Какая теперь дорога-то, разбойники вы этакие?.. В один день по распутице изведете лошадь... А мы другую подпряжем, глупая! — спокойно ответил Поршнев. — Гнедко в корню, а в пристяжке пойдет Воронко... Огибенин, орудуй! Разбойники вы все, вот что! — кричала Маремьяна Власьевна на весь двор. — Погубители!..

Катаев попробовал было уговорить расходившуюся старуху, но только махнул рукой.

— Ты-то к чему прикачнулся, оборотень?! — вопила она на него. — Откуда тебя

нелегкая принесла?.. Чтобы тебе ни дна, ни покрышки, окаянной душе!..

Досталось по пути и старику Огибенину, который спорить и возражать по бедности не мог, а только встряхивал головой. Он и не рад был, что попал в хорошую компанию, потому что постоянно случалось одолжаться у Маремьяны Власьевны, а теперь и на глаза к ней не показывайся! Баба характерная, живьем съест, ежели расстервенится.

Все вздохнули свободнее, когда выехали наконец из ворот поршневского дома. Маремьяна Власьевна бежала за телегой по улице и что-то кричала, грозила кулаком и вообще неистовствовала, как сумасшедшая. Гаврила Семеныч угрюмо молчал. Ему было немножко и совестно перед посторонними людьми и обидно за взбесившуюся жену. Что же, кажется, он хозяин в своем собственном дому, и никто ему не смеет указывать...

— Через недельку вернемся, — говорил Катаев. — Еще неизвестно, что там...

— Не таковское дело, чтобы его наверняка делать, — спокойно отвечал Поршнев. — Конечно, баба не понимает ничего... Ну, что я

буду мерить овес да выдавать сено ямщикам, — и без меня обойдутся. Засиделся я дома-то, набаловал жену, — вот она и дичит, как оглашенная. Ничего, обойдется...

В сущности, действительно, Маремьяна Власьевна совершенно напрасно так беспокоилась. Между Катаевым и Поршневым даже не было никакого серьезного уговора по части золотого дела, и своим вмешательством она только подлила масла в огонь. Гаврила Семеныч просто хотел встряхнуться и подышать свежим промысловым воздухом. Сказалась вечная промысловая тоска о не дававшемся в руки счастье. А сейчас он сидел в телеге и думал запавшей в голову одной фразой: «А что, я не хозяин в своем дому? Слава богу, не дом меня нажил, а я его».

Весенняя дорога была тяжелая, и на третьей версте сильный коренник уже «задымился» от пота.

— Ничего, подберется, — говорил Огибенин, отвечая на тайную хозяйскую мысль Гаврилы Семеныча. — Застоялись у тебя лошади...

Дорога шла на юго-запад, пересекая волни-

стую равнину, в глубине которой красиво громоздились горы. Картину портило полное отсутствие леса. А когда-то здесь был настоящий вековой башкирский «урман», то есть непроходимый лес. Но в «некоторое время» он был безжалостно истреблен на потребности открытых еще в «казенное время» золотых промыслов, знаменитых по своим богатствам даже в летописях Урала.

Остатки вековых башкирских боров были окончательно истреблены самым безжалостным образом частными золотопромышленниками.

В первый день едва сделали верст шестьдесят и заночевали в открытом поле. Поршнев опять не хотел, чтобы знали о его поездке, и даже отворачивался, когда по дороге кто-нибудь встречался. Узнают и будут болтать, что Поршнев опять поехал золото искать. Примета самая нехорошая. Когда уже были на стану и сидели около огонька, подъехал кто-то верхом. Начинало темниться, и Поршнев не сразу узнал вершника.

— Мир на стану, Гаврила Семеныч!..

— Мир дорогой!..

— Куды наклался, на ночь глядя?

— А так... дельце наклевалось... Да это никак ты, Артамон Максимыч?

— Около того... Аль не узнал?

Это был знаменитый гуртовщик Гусев, поставлявший на промыслы киргизских баранов и быков. Он грузно спешился, со всеми поздоровался и особенно пристально посмотрел на Катаева.

— Из подрядчиков будете? — спросил он.

— Да, около этого...

— Коней у нас угнали, вот какой подряд выходит, — солгал Поршнев. — Едем в Теребинск выкупать.

— Дело известное... Теребинцы — первые конокрады, почище башкирцев будут.

Поршнев чувствовал, что Гусев не верит его выдумке, и был рад, когда он уехал.

— Отчаянная башка! — ворчал он, когда затих лошадиный топот. — Ведь все знают, что он с деньгами ездит... Ночное время, а в поле один Никола бог.

Огибенин задал лошадям сена и, свернувшись клубочком у огонька, сейчас же заснул. Катаев достал из внутреннего кармана завер-

нутый в платок кусок змеевика со вкрапленным в него золотом, которое можно было рассмотреть простым глазом. Поршнев долго рассматривал этот мудреный камень «со знаками» и только покачивал головой.

— Не случалось такой оказии видеть, Егор Спиридоныч... Настоящее жильное золото обязательно в кварце.

— А кто ему указал непременно в кварце быть? Это змеевик-камень. Я показывал его знакомому штейгеру, — он одобрил и даже весьма. «Хоть бы, — говорит, — пес, да яйца нес». У меня заявка сделана уж года с два, да все как-то руки не доходили. А вот нынче собрался и своего паренька туда послал еще перед пасхой, чтобы орудовал.

— Вязковат камень-то, Егор Спиридоныч! Трудно его будет из породы добывать, да и золото из него тоже не скоро выковыряешь.

— Ничего, добудем! Жила идет вершков в десять ширины...

Определенных переговоров и условий раньше не было сделано, и будущие компаньоны уговорились тут же, около огонька.

— Да и какой разговор, Гаврила Семеныч?

Моя половина, твоя половина — вот и все слова. А там уж что господь пошлет...

Поршнев долго не мог заснуть. Его охватывала все сильнее и сильнее золотая лихорадка, и он для собственного оправдания перебирал в уме десятки имен тех счастливцев, которые разбогатели на золоте. Ничего не было, одолжали по десяти рублей, а сейчас и рукой не достанешь. В то же время ему представлялась плакавшая жена, и Гаврила Семеныч только подавленно вздыхал. Ну что же, действительно, тогда и клятву давал перед образом и всякие неподобные слова говорил, — было дело, только все это делал в отсутствии ума. И жену Маремьяну Власьевну пожалел Гаврила Семеныч. Что же, век вековали, баба настоящая, сурьезная, все равно, как медведица в дому. Все ухранит, сбережет, усмотрит, — ни синь-пороха не пропадет.

Бывают ночные мысли и бывают дневные. Утром Гаврила Семеныч проснулся бодрым и веселым. Его охватило то особенное настроение, которое дает только бойкая промысловая жизнь. Да и кругом уже все было очень хорошо. Вчера ехали целый день по казенным зо-

лотым промыслам, где работы велись точно на парад. Зимой снимали верховики, а с весны начинали работать россыпи. Конечно, матушка-казна ухватила самые лучшие куски, но и партикулярные люди не дремали. Поршнев опытным промысловым взглядом взвесил каждую работу и только любовался. Везде золото, и дорога шла по золоту. Сколько лет работают добрые люди, а золота не убавилось. Да еще мало ли золота лежит в земле «на счастливого»? Только надо уметь его взять...

За казенными промыслами начиналась площадь частных. Тут орудовали неизвестные питерские люди, которые сами никогда и в глаза не видали своих приисков, а за них орудовали поверенные, управляющие и разная приисковая челядь.

— По золоту едем, Егор Спиридоныч! — повторял Поршнев. — Инженеры-то в белых перчатках только жалованье умеют получать.

На пути попадались глухие башкирские деревушки, ютившиеся по берегам горных озер и впадавших в них речонок. Все это была

вымирающая, отчаянная голытьба, кое-как питавшаяся около золотых промыслов.

Фунта земли не пашут, — негодовал Катаев, на глаз оценивая башкирскую бедноту. — Ни с чем несообразный народ... Сдадут свою землю в аренду за расколотый грош под промысла, да сами же и нанимаются в работники.

— У него душа короткая, у башкирца, — объяснял Поршнев. — Где же ему пашню поднимать? Он поработал день — два, много — неделю, и, например, сейчас расчет подавай!

IV

— Мне нужно заехать в Поляковку, — заявил утром Егор Спиридоныч, когда Огибенин распряг лошадей.

Это было в сторону от дороги в Теребинск. Получался крюк верст в десять. Да и разговора об этом раньше не было. Поршнев ничего не сказал, хотя ему именно в Поляковку и не хотелось ехать, потому что там у него было много знакомых.

— А мы вот как сделаем, — решил Катаев, — ты поедешь, Гаврила Семеныч, прямо в Теребинск, а пока вы там будете кормить ло-

шадей, я вас догоню. Дельце есть маленькое в Поляковке, — нужно повидать одного человека... Вы меня довезете до Балбука, а там я пешочком доберусь.

Балбук являлся центром громадного района, где сильной рукой работала компания Базилевского. Промысла занимали арендованную у башкир землю в несколько сот тысяч десятин.

Дело было старинное, испытанное и давало верный доход. Поршнев бывал на этих промыслах по разным делам сотни раз и знал все, как у себя в кармане.

Высадив Катаева под Балбуком, Огибенин обернулся к Поршневу и сказал:

— Финтюрит он...

— Не наше дело, Савва...

Огибенин только тряхнул головой. Он почему-то вдруг невзлюбил Катаева и про себя назвал его «темной копейкой». был казенный медный рудник, и сейчас можно было еще видеть запущенную, обвалившуюся шахту. Теребинцы не пользовались особенно хорошей репутацией, а славились как завзятые конокрады, переправлявшие лошадей с одного

склона Урала на другой. Поршневу не раз случалось бывать здесь по делам. Он остановился у одного знакомого, который сразу догадался, в чем дело.

— Катаевский змеевик приехал глодать, Гаврила Семеныч?.. Его надобно зубами грызть... Никакая снасть не берет.

— Так, вообще... Полюбопытствовать охота, — условно признавался Поршнев. — Где уж нам золото добывать... Простого ходим, ногой за ногу запинаемся...

Катаев приехал верхом, когда уже на столе весело кипел самовар. Он был весел и все время шутил.

— Люблю теребинцев, — говорил он, подмигивая. — У них какая вера: сам сыт — конь голоден, конь сыт — сам голоден... хе-хе!.. Почище башкирцев выходит...

Поршнев не любил шутовства вообще и молчал.

Они переночевали в Теребинске, а ранним утром на другой день отправились на «змеевую жилу», как Поршнев назвал про себя новый прииск.

Перед отъездом Огибенин устроил настоя-

щий скандал. Когда Поршнев велел ему запрягать лошадей, он отказался наотрез.

— И запрягать не буду и коней не дам, — заявил он самым решительным образом. — Вот тебе и весь сказ...

— Да ты сбесился, старый черт?! — обругал его Поршнев.

— Сказано: не дам. Это ты сбесился, а не я...

— Да ведь кони-то мои?

— Кони твои, а отвечать-то за них Маремьяне Власьевне должон я...

Сначала Поршнев вспылил, а потом одумался. Пришлось взять теребинских лошадей.

— Вы поезжайте, а я по колее за вами и пешком дойду, — говорил Огибенин. — Не угоните от меня далеко...

Действительно, угнать было трудно, потому что приходилось ехать «в дело», то есть без всякой дороги.

— Ничего, пусть пройдется, — шутил Катаев. — Для аппетиту это весьма пользительно..

От Теребинска ехали битых два часа. Здесь горы точно перепутались между собой, и приходилось делать объезды.

— Зимой-то совсем близко, — утешал Ката-

ев. — А теперь вон как и настоящую-то дорогу развело...

Новый прииск Катаев назвал «Змеевиком». Он залег в горном ущелье, на берегу безымянной горной речонки. Издали можно было рассмотреть несколько новых построек — небольшая казарма для рабочих, контора, амбар для разной приисковой рухляди, конюшня с навесом и т. д. Золотоносная жила «выпала» прямо в скале, выступавшей к речке каменной грудью. Место было красивое вообще.

— Ну, вот мы и дома, — весело говорил Катаев, когда лошади остановились у самой конторы. — Эй, человеки, кто есть жив?

В окне конторы показалось очень миловидное девичье личико, улыбнулось и скрылось.

— Вон какая у меня птаха приспособлена, — шутил Катаев. — Татьяной звать...

— А для чего она на прииске живет? — спросил Поршнев, нахмурившись.

— А шти кто нам будет варить? Я люблю, чтобы все было в аккурате...

— Молода, штобы в лесу-то одной жить...

— Не одна живет, а с добрыми людьми. На что нам старух-то?..

Из-под навеса показался белобрысый парень, прихрамывавший на левую ногу. Он даже не поклонился хозяину, а только что-то буркнул себе под нос.

— Ну, Миша, принимай гостей!.. Как у вас дела?

— Два хомута третьева дни украли...

— А рабочие где?

— Ушли ночью. Они хомуты-то сблаговестили...

Катаев начал ругаться, а Миша угрюмо смотрел куда-то в сторону, не выражая никакого желания оправдываться.

Контора была выстроена на живую нитку, как все приисковые постройки, и делилась на две половины; в большей была контора, а в меньшей — кухня. Пока Татьяна ставила самовар, Катаев повел показывать жилу. Она проходила неправильной полосой прямо в камне. Правильной работы еще не было, а только делались пробы в том месте, где прослоек змеевика вспучило и образовался довольно большой желвак.

— Это к есть твоя жила? — спросил Поршнев, тыкая палкой в змеевик.

— Она самая, Гаврила Семеныч... Змеевик — камень мягкий, хоть зубами его грызи!

— Да, тут, действительно, надо зубами выгрызать твое золото, — решил Огибенин тоном специалиста. — Самый вредный камень... Кварц трещину дает, если его порохом или динамитом рвать, а тут будет только воронки вырывать. Я видел такую-то одну жилу...

Жила не понравилась и Поршневу, но он промолчал.

В конторе их уже ждал кипевший самовар. Татьяна не показывалась, и Катаев насильно вывел ее за цуку.

— Ну, иди, иди, пирожница!.. — уговаривал ее Катаев. — Покажись добрым людям.

— Отстань, смола! — довольно сурово ответила девушка, стараясь освободиться. — Ты вот постыдись лучше добрых-то людей...

Поршнев заметил, что «пирожница» одета слишком форсисто для приисковой стряпки и отвечает хозяину неподобно. Одним словом, нехорошо.

После чаю, захватив разную снасть, отправились делать пробу. Нужно было произвести взрыв. Огибенин и Миша принялись за работу, то есть при помощи железного лома и молота сделали глубокое отверстие в змеевике. Катаев сам заложил в него пороховой патрон, провел пороховую нитку и заклинил наглухо отверстие. Когда произведен был взрыв, слова Огибенина оправдались: вместо трещин и кусков жилы получилась) одна воронка.

Работа шла до самого вечера, а толку никакого не получи лось. Наработался досыта и Гаврила Семеныч, благо в охотку было и поработать. Улучив минуту, он спросил Мишу, что это за птаха Татьяна.

— Танька-то? — равнодушно ответил Миша. — А так, просто дура...

На другой день работа началась с раннего утра. Бились изо всей мочи. «Знаки» золота были налицо, а жила не поддавалась, точно ее заворожила нечистая сила. У Поршнева все время не выходила из головы «птаха». Красивая девка, нечего сказать, а только неподобное это дело, чтобы баловство разводить. Встретив ее на крыльце, Поршнев не утерпел

и сказал:

— Нечего тебе делать здесь, милая... Шла бы ты лучше подобру-поздорову домой...

— А ты зачем сюда приехал? — огрызнулась птаха, не моргнув глазом. — Ступай уж ты лучше домой-то: тебя жена вот как ждет..., — Зачем со стариком вяжешься?

— А тебе какое дело пригорело? Очень он мне нужен, старый пес... Да я на него и глядеть-то не хочу, на гнилое дерево.

— Ну и девка!.. Не сносить тебе своей головы, Танька!

— Такая уж уродилась...

V

После отъезда мужа Маремьяна Власьевна несколько дней ходила, как помешанная. Она потихоньку от дочери плакала и по десяти раз выскакивала за ворота, когда слышала, что кто-нибудь едет. Ей все казалось, что это Гаврила Семеныч, и даже узнавала побежку своих лошадей. Но Гаврила Семеныч и не думал возвращаться домой. Дочь Душа тоже не раз всплакнула, глядя на убивавшуюся мать. Она улучила вечером минутку и сбегала к дяде по матери.

— Ох, не ладно у нас в дому! — жаловалась она. — Мамынька слезьми изошла...

Дядя, родной брат Маремьяны Власьевны, отнесся к этому случаю довольно равнодушно и ответил:

— Что же, не вы первые, не вы последние через это самое золото слезы льете... Гаврила Семеныч — человек сосредоточенный и лучше вас знает, что делает.

Дядя сам «ходил в штейгерах» на промыслах и сочувствовал зятю.

Маремьяна Власьевна вызнала на базаре про Катаева все, что могли ей сообщить другие. И какой он товар накупил, и когда товар был отправлен, и откуда он взялся в Миясе, и где раньше жил. Относительно последнего показания расходились, но все в голос хвалили его, как человека обстоятельного.

На базаре уже знали, куда уехал Поршнев, и лавочники подшучивали над Маремьяной Власьевной:

— Ужо скоро купчихой первой гильдии будешь, когда твой Гаврила Семеныч накопает золота...

— Настоящая купчиха и то, — соглашалась

с горькой улыбкой Маремьяна Власьевна. — В самый раз калачами у вас на базаре торговать...

Мужчины вообще были на стороне Гаврилы Семеныча, а знакомые торговки от души жалели Маремьяну Власьевну.

— Рука у него тяжелая на золото, у твово мужа, — судачили бабы. — Уж сколько разов зорились-то на этом золоте...

— Ох, и не говорите, милые!.. Другим и счастье господь посылает, а нам один разор.

— Денег-то много он с собой взял?

— Ничего, ничего не знаю... Деньги все у него. Больших-то денег и нет, а так, про черный день...

Маремьяна Власьевна не договаривала. Она отлично знала, что у мужа на руках было близко «тысячи» и что он все их увез с собой. «Еще убьют где-нибудь, — думала она. — Деньги не малые, вызнают и убьют»... На промыслах убийства из-за денег были не редкостью, потому что промысловый народ отчаянный, с бору да с сосенки. Заводские свои хороши, а промысловые еще почище...

Прошли мучительных две недели. Раз

поздно вечером Маремьяна Власьевна хотела уже ложиться спать, как кто-то постучался в ворота. Это был старик Огибенин, приехавший верхом. Маремьяна Власьевна обрадовалась ему, как родному, и даже расплакалась.

— Голубчик ты мой, Савва Яковлич, а я уже не думала и в живых вас видеть, — причитала она, не зная, куда усадить дорогого гостя. — Ни слуху, ни духу о вас...

— А что нам сделается? Слава богу, живы и здоровы... Вот меня за порохом послали да хомуты новые выправить. А твоих лошадей я вот как берегу, как свой глаз... Не сумлевайся!

Чтобы выпытать от старика всю подноготную, Маремьяна Власьевна послала за водкой, велела разогреть старые щи, сделать яичницу, — одним словом, пущены были в ход самые решительные меры.

— Сам скоро собирается приехать, так лучше моего расскажет, — пробовал уклониться старик от прямых ответов, — Соскучился, говорит...

Водка, конечно, сделала свое дело и развязала старику язык.

— Хорошего мало, Маремьяна Власьевна...

Крепко мне наказывал Гаврила-то Семеныч ничего тебе не говорить, потому как самое у нас пропащее дело. Только понапрасну деньги травим... Оно, золото-то, на глазах, а в руки не дается. Сперва-то Гаврила Семеныч даже совсем было от него отшатился, хотел все бросить и ехать домой, ну, а потом точно приклеился к этой самой жиле. Наняли человек с десять рабочих и долбят жилу с утра до ночи, как дятлы. Оно уж очень любопытно: тут вот оно, золото, на глазах, а в руки не дается. Одного пороху сколько извели... Гаврила Семеныч все своими руками вот как старается. Да...

Захмелев и желая угодить Маремьяне Власьевне окончательно, Огибенин рассказал и про Таньку-пирожницу.

— Ну, мой Гаврила Семеныч на озорство не пойдет, — с уверенностью проговорила Маремьяна Власьевна. — А вот Катаеву-то и постыдиться можно... Седой волос его прошиб, а он пустяками занимается...

— А хороша девушка из себя, можно сказать, что всем взяла, — не уздимался Огибенин. — И ростом, и лицом, и характером... А я

только к тому о ней завел речь, что она ведьма... Эго она заворожила жилу, не иначе дело... Осиновым колом ее, ведьму!..

— Ну, миленький, тебе пора и соснуть. Ступай-ка домой! Тоже, чай, жена-то вот как ждёт. Завтра договорим...

Появление Огибенина немного успокоило Маремьяну Власьевну. У ней явилась надежда, что муж подурит-подурит и бросит.

— Скажи Гавриле Семенычу поклонник, — наказывала она, когда Огибенин уезжал на другой день, — Да еще скажи, что, мол, жена баньку истопит, как он приедет домой. Любит он у меня в баньке попариться... Пусть приисковую-то глину отмоет.

Поршнев приехал домой совершенно неожиданно, гораздо раньше, чем его ожидала Маремьяна Власьевна. Он приехал вечером, когда уже стемнело, на паре своих лошадей.

— Ну, как вы нут без меня живете? — ласково спросил он жену.

— Ничего, слава богу, Гаврила Семеныч! — с бабьей покорностью ответила Маремьяна Власьевна. — Раз с шесть обозы наезжали, так

разные мужички останавливаются... Сено сейчас дорого и овес тоже.

Она представила мужу полный отчет за все время, и он остался доволен.

— Золото ты у меня, а не баба! — похвалил Поршнев жену и по пути приласкал Душу, которую всегда любил. — Руководствуйте дома, а я...

Он не договорил и только вздохнул. Маремьяна Власьевна заметила, что он вообще какой-то «туманный». И его какая-то виноватая ласковость тоже ей не нравилась.

«Ох, не к добру!..» — думала она, припоминая обычную строгость мужа.

Поршнев прожил дома два дня и все время ходил по каким-то делам. Маремьяна Власьевна не закинула ни одного слова об его деле, пока он сам не разговорился.

— Дело, что же, надо правду сказать, неважное... Порохом ничего не можем взять, ну, попробуем диомидом. Так-то его не продают, а есть у меня дружок, казенный штейгер, так чрез него раздобудемся. Порох-то в одну сторону бьет, а диомид, как молонья, во все стороны... Вот этакое дело выходит.

Рассказал он и про Катаева.

— Мудреный он какой-то... Не разберешь. А так ничего, дело свое знает. Упорный мужичонка, можно сказать... У нас такое условие с ним: твоя половина — моя половина. Чтобы, значит, никому не обидно. А там, что уж бог даст.

— Лукавый он... — заметила Маремьяна Власьевна и сейчас же пожалела, что не сдержала своего бабьего языка.

Поршнев только посмотрел на жену и замолчал. Он всегда как-то нехорошо молчал. Было очевидно, что он догадался относительно болтовни старика Огибенина.

Перед отъездом Поршнев точно отмяк. Он купил на базаре два платка и подарил их жене и дочери.

— Ничего, как бог... — заметил он вскользь, когда у Маремьяны Власьевны показались на глазах непрошеные слезы. — Все от бога...

Ей так много хотелось сказать ему, чтобы отошло наболевшее сердце, но говорить было трудно. Ему было жаль жени и тоже хотелось сказать много, а ничего не сказалось.

— Ты на меня не сердись, — проговорил Поршнев, когда уже лошади были заложены. — Мало ли что бывает...

Она смолчала.

— Знаешь, Маремьяна, — прибавил он неожиданно для самого себя. — Как это тебе сказать... Одним словом, выходит в том роде, как будто я боюсь Катаева... И не то, что боюсь, а вот он посмотрит на меня — и конец тому делу. Точно вот я весь чужой делаюсь.... И даже не люблю я его, очень даже не люблю, а не могу.

— Кругом он окрутил тебя, Гаврила Семеныч...

Поршнев не обиделся, а только молча обнял жену и тряхнул головой. Она хотела провожать его до базара, но он ее остановил.

— Не к чему... Оставь!

Она не понимала, как ему тяжело было уезжать. Но его неудержимо тянула какая-то неведомая сила к «Змеевику».

На другой день Маремьяна Власьевна узнала, что муж набрал на базаре в долг разного товара полную телегу. Этого она уже никак не могла понять. Деньги у него были, и

должаться не было смысла.

VI

Привезенный Поршневым динамит мало помог делу. Змеевик не поддавался. Приходилось добывать его ломом и кайлами. В результате месячной работы получилось едва несколько золотников.

— Ничего, привесимся к делу, — утешал Катаев. — Уж очень даже любопытно... Вот ежели бы бегуны поставить...

— А деньги где? Бегуны на худой конец стоят тыщи три — четыре...

У Катаева в голове вечно сидели всевозможные замыслы, и только не хватало денег, чтобы производить их в исполнение.

Время шло, и жизнь на «Змеевике» изо дня в день тянулась без всякого разнообразия, как и на других промыслах, с той разницей, что он был совсем в стороне, и никто посторонний не заглядывал в эту глушь. Впрочем), раз неожиданно приехал гуртовщик Гусев.

— Был в Теребинске, наслышался чудес про вашу жилу и нарочно приехал поглядеть на оказию, — объяснял он, — Сказывают, вы золото-то прямо руками берете...

— Вот, вот, в самый раз руками, — поддакивал Катаев. — Не хочешь ли поучиться? А то и нас поучишь... Ты ведь не даром всю жизнь по промыслам маячишь и всего нагляделся. Может, и нас поучишь...

Катаев по обыкновению шутил, а вышла совсем не шутка. Гусев внимательно осмотрел всю жилу и работы и покачал головой.

— Эх, братцы, не с того вы конца работу ведете! Надо как раз совершенно наоборот...

— Ну, ну, поучи!

— А очень просто: вы самую-то жилу оставьте, а взрывайте пустую породу с обеих сторон. Она и останется у вас, как облупленное яичко.

Этот совет изумил и Катаева и Поршнева.

— Ах ты, братец ты мой, ведь оно того... действительно... — бормотал Катаев, почесывая в затылке. — Оказали мы себя, Гаврила Семеныч, вполне лишенными ума... Верное твое слово, Артамон Максимыч. Ежели по камню-то шарахнуть динамидом, так тут всю гору разворотит... Правильно!

Поршнев тоже не мог не согласиться с мнением Гусева, хотя уже и не верил в змеевую

жилу.

— Дорогонько обойдется пустую-то породу рвать динами-дом, — заметил он. — Двойная работа...

— А это уж ваше дело. Чей воз — того и песенка, как говорится.

— Поступай к нам в компанию, Артамон Максимыч, — предложил Катаев. — Троим-то веселее...

— Не нашего это ума дело... Мое золото по степи гуляет да хвостиком помахивает.

Поршневу сказалось, что Гусев приехал на «Змеевик» неспроста и что у него с Катаевым есть какие-то тайные дела. В последнем он скоро убедился. По вечерам он любил сидеть на крылечке. Лето было в разгаре, и кругом было так хорошо. Сидя на своем местечке, Поршнев услышал сдержанный разговор, доносившийся из кухни, и сразу узнал голоса Татьяны и Гусева.

— Подвел меня один приятель в Троицке... — рассказывал Гусев. — Из сартов он... Ну, и раньше с ним дела делывал, а тут забрал он у меня товару близко фунта, да и был таков...

— Таких дураков, пак вы с Катаевым, не так еще надо учить... Не горохом торгуете!..

— Ах, Танюшка, случается и на девушку бабий грех. Егор-то Спиридоныч вот как на меня зарычал... полтыщи как не бывало...

— Денежная беда деньгами и раскрывается, а вы-то еще и сами влопаетесь. У Катаева-то от старости его лет совсем ума не стало...

— Ну, на его век хватит... да и от него останется... Ты-то вон как за него уцепилась, Танюшка...

— Я-то? А мне тошнехонько и глядеть-то на него... «Духовную, грит, напишу и тебе, грит, Таня, триста рублей откажу...» А сам все врет, все врет...

— Да ты, глупая, возьми да сама и уйди от него... Свет не клином сошелся, Танюшка...

— А ежели я не могу? Моченьки моей нет... Было дело и уходила, а потом сама же к нему и приду, как собака... Старый дьявол он, вот что! Какая-нибудь у него есть присушка... За глаза-то я его вот как терпеть не могу, а пришел, заговорил, поглядел — я точно и сама не своя. И боюсь я его... Не знаю, чего, а боюсь...

Просто в другой раз хоть руки на себя наложить...

Поршнева ст этих слов точно кипятком ошпарило. Ведь и он то же самое говорил про Катаева своей жене... А потом он отлично понял этот таинственный разговор о «товаре». На промыслах товаром называют краденое золото. Значит, и Катаев и Гусев промышляли по этой части да и его могли подвести каждую минуту.

«Завтра же уйду! — решил Поршнев про себя. — Тут такой беды наживешь, что и не расхлебаешься с ней. Недаром Маремьяна Власьевна так его невзлюбила с первого разу... Ее, брат, не проведешь!»

Но на следующий день Поршнев остался на «Змеевике», проклиная самого себя. Все вышло как-то само собой. Он даже пробовал заговорить с Катаевым по душе, но тот его предупредил.

— А ты не сумлевайся, Гаврила Семеныч!.. Есть и поумнее нас с тобой народы, которые ежели подвержены... Грех-то не по лесу ходит, а по людям.

— Да я что же, Егор Спиридоныч... — бор-

мотал Поршнев с виноватым видом. — Сегодня я здесь, а завтра ступай на все четыре стороны...

Катаев хихикнул и, подмигнув, проговорил:

— Это тебя Гусев напугал? Хе-хе!.. А я не держу. Волка бояться — в лес не ходить.

В сущности, Катаев говорил самые пустые слова, на которые даже и отвечать было нечего, но вместе с тем Поршнев чувствовал, как он его опутывает именно этими пустыми словами, как паук муху паутиной. Во время разговора, который происходил в конторе, Поршнев инстинктивно оглянулся на дверь в кухню и увидел в ней Татьяну, наблюдавшую его улыбавшимися и в то же время строгими глазами. О, теперь они понимали друг друга уже без слов и соединялись невидимо в общей слабости и в общей ненависти, — ненавидят только бессильные люди.

Тем дело и кончилось, и все пошло своим чередом. Летом Катаев уезжал раза три по каким-то делам, о которых не любил говорить, и возвращался через несколько дней усталый, измученный озабоченный. Оставаясь на

прииске один, Поршнев всячески избегал Татьяны, которая преследовала его своими строгими, улыбавшимися глазами. Потом он видел, что она часто плакала, и раз, когда он проходил мимо ее окна, ясно слышал ее слова:

— Убить его мало, старого колдуна...

В счетах по прииску Катаев отличался большой аккуратностью и выводил все до последней копеечки.

— Твоя половина — моя половина, — любил он повторять при этих расчетах. — Мне чужого не надо, сохрани бог... И своего не отдам. Денежка счет любит.

А денежные счеты все увеличивались. Нужно было содержать десять человек рабочих, четырех лошадей, потом стоила немало разная приисковая снасть («без снасти и клопа не убьешь», — говорил Катаев), поездки, постройки и т. д. Деньги текли незаметно, а прибыли было мало. Каждый золотник добытого золота обходился дороже раз в десять, чем за него приходилось получать по ассигновкам горной лаборатории.

Относительно сдачи добытого золота ско-

ро выяснилось, почему Катаев так упрямо держится за свой «Змеевик», дававший, в сущности, громадные убытки. На каждом прииске ведутся в самом строгом порядке приисковые книги, в которых записывается каждая доля добытого золота, и Катаев преспокойно записывал в книгу по «Змеевику» стороннее золото.

— Это как же так выйдет, Егор Спиридоныч? — решился наконец спросить его Поршнев.

— А вот так и выйдет... Это уж не твое дело, а у нас комар носу не подточит. У меня еще есть прииск, под Кочкарем... А казне-матушке все равно, с какого прииска ни получить золото.

— Ну, за это по головке не гладят, Егор Спиридоныч.

— И пусть не гладят... Слава богу, не мы первые, не мы последние. А главное — мораль. Что мы будем, как дураки, в пустое место колотиться изо всех печеней? Зачем мы, например, будем добрых людей смешить своей дуростью? Нет, уж лучше я посмеюсь. Убыток убытком, а срам зачем же напрасно

принимать?

Поршнев не мог не согласиться с этими рассуждениями, тем более, что ответственным лицом по прииску являлся один Катаев.

На «Змеевике» были еще двое, которые не принимали прямого участия в хозяйстве прииска, но знали все, что его касается, лучше самих хозяев, — это «молодец» Миша и Огибенин. Они сошлись между собой молча и следили за каждым шагом своих хозяев. Миша не любил зря болтать, но умел слушать старческую болтовню Огибенина.

— Теперь у нашего Гаврилы Семеныча перевалило, надо полагать, на шестую сотню, — говорил старик, подсчитывая расходы по прииску. — А доходу наберется — не наберется рублей с пятьдесят...

«Молодец» Миша молчал, как заколдованный, несмотря на все попытки Огибенина заставить его разговориться. Выведенный этим упорным молчанием из всякого терпения, Огибенин бросал шапку оземь и начинал ругаться.

— А вот возьму, брошу все и уйду!.. Не глядели бы мои глаза на вас. Что я тут болтаюсь,

как непокаянная душа?!.. Вот с места не сойти, если не уйду...

Миша упорно молчал.

Между прочим, этих людей соединяла всего крепче общая ненависть к Таньке-пирожнице.

— Змея подколодная и вывела на змеевую жилу!

VII

Прошло лето. Наступила осень, всегда в горах сырая и ветреная. На «Змеевике» дела находились в прежнем положении и царило уныние. Даже рабочие работали нехотя, как на всех промыслах, где золото идет плохо. Некоторые прямо уходили.

— Что нам на пустом месте биться? — объясняли они. — Даром только хлеб едим...

Но Поршнев не желал расставаться с делом и решил его вести до конца, пока хватит сил. Им овладело непобедимое упрямство. А деньги быстро подходили к концу, хотя можно было работать до первых заморозков. Катаев тоже заметно подтянулся и неохотно делал расчеты, учитывая каждую копейку. Поршнев понимал, что он это делает только

для отвода глаз, чтобы не платить его, поршневской, доли, а что деньги у него есть и не маленькие.

«Краденое золото поднимает», — с огорчением думал Поршнев.

С другой стороны, у Поршнева задета была его гордость, именно, что Катаев высосал из него все деньги, а теперь над ним же и важничает. Скоро будет прямо за последнего нищего считать. Вот так «твоя половина — моя половина»... Оно так и выйдет, когда Поршневу придется бросить все дело.

«Нет, погоди, я еще покажу тебе, старому черту!» — про себя ругался Поршнев.

По-настоящему, когда вылетел из кармана последний рубль, следовало бы вернуться к себе домой и приняться за свое насиженное дело. Но Поршнева точно приковала какая-то невидимая сила к «Змеевику». Ему казалось, что еще немного потерпеть, перемочься, и дело наладится. Вернуться домой мешало отчасти и то, что все знали о «Змеевике», о котором ходили самые нелепые слухи, и его одолели бы расспросами и шуточками.

— Поезжай-ка ты, в самом деле, домой, Гав-

рила Семеныч, — ласково уговаривала его Татьяна. — Только даром здесь путаешься... Пора и честь знать. А дома у тебя полная чаша, сам большой — сам маленький.

— А ты отчего не едешь?

— Ну, мое дело десятое... Одним словом, непокрытая девичья голова, как дом без крыши. Некуда мне ехать...

Сначала Поршнев сторонился пирожницы и делал вид, что совсем ее не замечает, а потом свыкся и даже любил с ней поговорить. Девушка была умная и с характером. Она ему нравилась чередовавшимися припадками ласковости и какой-то особенно красивой тоски.

Поршнева на время спасло то, что ударили ранние заморозки, и работы пришлось прекратить. Ставить теплые казармы для работ не хватало средств. По окончательному расчету, Поршнев остался должен Катаеву около двухсот рублей.

— Я тебе к рождеству все заплачу, — говорил Поршнев. — Как-нибудь сколочусь...

— Знаю, что заплатишь, да я тебя и не неволю, — ответил Катаев. — Человек ты об-

стоятельный и сам вполне можешь понимать...

Невесело возвращался к себе в Мияс Гаврила Семеныч на паре своих лошадок. Огибенин правил за кучера и всю дорогу потряхивал головой.

Маремьяна Власьевна встретила мужа с великой радостью и ни одним словом не заикнулась об его делах. Надо, так и сам скажет. Дома все было благополучно. Постоялый двор и мелочная лавочка работали хорошо, и Поршнев получил около ста рублей чистой прибыли.

«Катаевские денежки... — с горечью думал он, пересчитывая засаленные кредитки. — На эту прорву никаких денег не напасешься...»

И перед женой ему было совестно: вот приедет Катаев и за здорово живешь отберет трудовые, кровные денежки... По пятачкам да по копеечкам копила Маремьяна Власьевна свой капитал, а он пойдет прахом, как ветром дунуло. Обида взяла Гаврилу Семеныча, и он решил, когда приедет Катаев, рассчитаться с ним по-своему. Пусть чувствует кошка, чье мясо съела.

Занялся своими делами Поршнев, и все пошло, кап по писаному. Вообще жить было можно, хотя нажива была и небольшая.

Прошло около месяца, и Поршнев отдохнул, точно стряхнул с себя налетевшее вихрем увлечение легкой наживой. В минуту откровенности он рассказал жене все, как было. Маремьяна Власьевна даже не убивалась о потерянной тысяче рублей да о долге в двести, а только сказала:

— Твое дело, Гаврила Семеныч... Ты наживал деньги, тебе и знать, что и к чему. А я твоя раба последняя. Что прикажешь, то и буду делать. Век вековали, и делить нам нечего.

Очень понравился ему этот ответ жены, и еще раз сделалось совестно, что он ее и обижал, и скрывался, и обманывал. И она же еще жалела его, по-хорошему жалела, на совесть. С такой бабой жить, как за каменной стеной. Эта уж ухранит, сделай милость, и не выдаст, что бы ни случилось. Правильная баба, одним словом...

Опять зажили Поршневы душа в душу. Маремьяна Власьевна опять повеселела и опять воротила все хозяйство. А работы было нема-

ло, когда привалит обоз телег в сорок. Всех ямщиков надо накормить, напоить, обо всем позаботиться. А Гаврила Семеныч сам перестал даже на базар ходить, а все поручал жене. Он точно стыдился своей летней прорухи. И знакомых избегал, а только когда зайдет Огибенин — ну, посудачат вдвоем о разных приисковых делах. Выходило так, как будто ничего и не было.

— Деньги — дело наживное, — говорила Маремьяна Власьевна к случаю. — Пришли — ушли... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Старик Огибенин был того же мнения, тем более, что никогда не имел денег, а всю жизнь «околачивался у воды без хлеба».

Одним словом, все пришло в порядок, и Маремьяна Власьевна даже начинала забывать эту налетевшую вихрем беду, как вдруг, недели за две до рождества, неожиданно приехал Катаев, да еще со своей пирожницей, которую Маремьяна Власьевна сейчас же назвала поганкой.

— Не наше дело, — заметил ей Гаврила Семеныч. — Наше дело сторона...

— И все-таки поганка!.. — настаивала Маремьяна Власьевна, охваченная неожиданной тревогой.

Гаврилу Семеныча неожиданно выручила безответная дочь Душа, которая как-то сразу сошлась с приисковой пирожницей и сделала открытие, что та уже «на тех порах», то есть беременна, и приехала в Мияс «разродиться». Маремьяна Власьевна сразу осела. Как не покрыть девичьего греха? А по уральской поговорке, тем море не испоганилось, что пес налакал...

Судили-рядили на тысячу ладов, судачили, бранили старого греховодника Егора Спиридоныча за его баловство, а в конце порешили так, что надо пирожницу укрыть.

— Сотенный билет тебе скошу, Гаврила Семеныч, — говорил Катаев. — А только сослужи службу... Конечно, грешный человек... совестно...

— Это не мое дело, — строго ответил Поршнев. — Поговори с моей женой... Это их, бабье, дело.

Маремьяна Власьевна и Душа приняли сторону пирожницы. Уж очень девушка хоро-

ша издалась, и безответная какая-то, а старый змей хитер.

— Маремьяна Власьевна, голубушка, — говорил Катаев, прижимая руки к сердцу. — Вот как перед богом, так и перед тобой... Грешный я человек, действительно, а только по духовной откажу Тане триста рублей... Меня же будет вспоминать, старика.

Пожалела Маремьяна Власьевна непокрытую девичью головушку и даже оставила ее у себя. Не дорого — не дешево, а купил ее скощенными со счета ста рублями. Деньги не маленькие, хотя и виноват кругом, На дворе у Поршневых был флигелек, и Татьяну туда можно было упоместить в лучшем виде. Все-таки не зверь, а живой человек. Пса, и того жалеют.

Устроив свою пирожницу, Катаев оставался в Миясе недолго.

— Ох, дела у меня, Маремьяна Власьевна! — повторял он, качая головой. — Вот какие дела... В том роде, как в котле кипишь. Может, ты и сердитуешь на меня, а только напрасно: моя половина — твоя половина.

— И не говори, Егор Спиридоныч, — отве-

тила с бабьей отчетливостью Маремьяна Власьевна. — Не нашего бабьего это ума дело... Говори с Гаврилой Семенычем, а мое — бабье дело.

Гаврила Семеныч все время отмалчивался. Он как-то вдруг точно потемнел. Первая заметила это Душа.

— Мамынька, с тятенькой неладно... Опять закрутил его Егор Спиридоныч.

— Ну, это не твоего ума дело, — почему-то сурово ответила дочери Маремьяна Власьевна.

Перед отъездом Катаев, как будто между прочим, заметил Поршневу:

— Ну, Гаврила Семеныч, ты, значит, того... Сколачивайся за зиму-то деньжонками, а весной я опять приеду в гости.

— На «Змеевик» я не поеду, Егор Спиридоныч. Ну его...

— И окромя «Змеевика» дела найдем до усов...

VIII

В первый момент к предложению Катаева попытать счастья летом еще раз Поршнев отнесся очень недоверчиво и даже посмеялся

про себя.

«Ишь, какой сахар нашелся!.. Закопал я на «Змеевике» близко тысячи рубликов — и будет. Очень даже благодарны вам, Егор Спиридоныч. Сыты по горло...»

Поршнев не скрыл закинутого Катаевым лукавого словечка от жены, и Маремьяна Власьевна страшно перепугалась.

— Да не змей ли, прости господи!.. — повторила она в ужасе. — Вот человека нанесло на нас... Погубитель он наш!

— А ты не бойся, старуха, — утешал Поршнев жену. — И мы тоже не лыком шиты... Не на таковых напал. Одурачил он меня тогда, пряменько сказать... В другой-то раз и поумнее будем.

Но Маремьяна Власьевна не успокоилась. Она сердцем чуяла неминучую беду. Змей не отстанет, пока не изведет вконец всю семью.

Предчувствия не обманули Маремьяну Власьевну. Гаврила Семеныч начал потихоньку собирать деньги, где только мог. Были кое-какие долги, и он получил их с особенной настойчивостью. Потом он налег на свой постоялый двор и торговлю; но тут много получить

было нельзя. К марту он едва-едва сколотил рублей триста. Пришлось обратиться к займам.

«Что же, получу и отдам, — успокаивал себя Поршнев. — Сам давал взаймы...»

Но тут вышла неприятная история. Люди, которые имели деньги, и могли дать, и дали бы еще год тому назад, теперь точно сговорились и в голос отвечали:

— На что тебе деньги-то, Гаврила Семеныч? Слава богу, кажется, все у тебя есть...

— Оборотец надо сделать один... — лгал Поршнев, скрывая свои планы.

Богатые мужики отлично знали, какой оборотец на уме у Поршнева, но делали вид, что ничего не подозревают. В первое время Поршневу было очень трудно просить и обманывать, но потом все как рукой сняло, лишь бы добыть денег. Он не постыдился обобрать до нитки старуху-тетку, верившую ему по старой памяти.

— Ох, Гаврилушка, распоследние копеечки тебе отдаю, — стонала старуха. — Это у меня смёртные денежки, чтобы похорониться чем было...

Нелегко было Поршневу слушать такие слова, но делать было нечего, приходилось терпеть.

В начале апреля Катаев приехал. Он сделал вид, что приехал навестить Татьяну, а потом по пути побывать на «Змеевике» где оставалась разная приисковая снасть. Поршнев встретил гостя хмуро и почти неприветливо, а Маремьяна Власьевна вся почти насторожилась, как птица над своим гнездом. Но змей сделал такой вид, что не замечает. Он оказывал теперь преувеличенную заботливость по отношению к пирожнице и подолгу засиживался у нее во флигельке, где она пока еще жила. Родившийся у нее ребенок сейчас же был отдан на воспитание куда-то в дальнюю деревню, и девушка страшно тосковала. Она, как говорится, не находила себе места, и Маремьяна Власьевна искренне ее жалела. Когда Катаев вошел во флигелек, Татьяна страшно испугалась. Она вся тряслась и смотрела на гостя округлившимися от страха глазами.

— А я тебе гостинца привез, Танюшка, — говорил Катаев, подавая шелковый головной

платок. — Вот носи да не потеряй...

Она не взяла платка и только отодвинулась подальше от гостя.

Потом Татьяна побежала к Маремьяне Власьевне вся в слезах.

— Убегу... убегу... — шептала она в отчаянии. — Ох, погубитель он мой!

— Обижает он тебя?

— Нет, никогда не обижал... А только боюсь я его до смерти. Он ласково-ласково заговорит, а я трясусь, как осиновый лист... Теперь зовет меня на лето в Кочкарь, — там у него новый прииск; а я ему: не поеду! Ну, а он смотрит на меня и улыбается... Вот это самое мне нож вострый, когда он улыбается. Взяла бы его и на мелкие части растерзала...

— Тебя ведь никто не неволит, Татьяна, ехать с ним... Живо у нас дело найдется. Хочешь, я с ним сама переговорю...

— Ох, голубушка, Маремьяна Власьевна, ничего не говори! Мне же хуже будет! Вот и сейчас я его ругаю, а он рукой повел — я и пошла за ним, как овца. Нету моей волюшки, точно связал он меня, старый хрен...

Девушка и плакала, и смеялась, и ласти-

лась к приголубившей ее Маремьяне Власьевне. Старуха ее полюбила и за глаза называла «приворотной гривенкой» — и тиха, и ласкова, и на всякое дело быстрая. Этакой-то девушке да пропадом пропадать — вчуже жаль.

Одно только смущало Маремьяну Власьевну по отношению к Катаеву, что он змей — в этом не было сомнения, — а в то же время такой богомольный. Каждое утро он молился по часу, да еще как молился: станет на колени и заливается слезами.

«Или уж очень грехов много накопил, — соображала Маремьяна Власьевна, — или уж такой угодник уродился...»

Катаев пожил в Миясе несколько дней, съездил на «Змеевик», а потом отправился в Кочкарь, захватив с собой Татьяну. Безответная, болезненная Душа очень привязалась к ней и провожала с горькими слезами, да и Маремьяна Власьевна жалела красавицу-девушку: что она — ни баба, ни девка, ни вдова.

При отъезде Катаев сказал Поршневу всего несколько слов:

— Вода скоро пройдет, Гаврила Семеныч... Каждый день вот как дорог.

После отъезда Катаева Поршнев ходил, как в тумане. Он точно боролся с самим собой. Власьевна чуяла неминуемую беду, и раз вечером сама первая проговорила:

— Ехал бы уж ты лучше к Катаеву, Гаврила Семеныч... Смотреть на тебя тошнехонько. А мы тут и без тебя с Душей управимся...

Поршнев ничего не ответил жене, а только вышел из комнаты. Ему было совестно до слез и жаль уж очень жену. Хорошая она женщина, правильная до последней ниточки. И как его насквозь понимает...

Через неделю Поршнев уехал в Кочкарь к Катаеву да так и пропал на целое лето. Маремьяна Власьевна точно вся окаменела. Она знала, что муж занимал денег везде, где только мог их достать, и что он вернется домой только тогда, когда спустит все до последней копеечки. А слухи шли стороной. Проезжал через Мияс гуртовщик Гусев и болтал на базаре, что видел Гаврилу Семеныча на Кочкаре и что дело у него с Катаевым идет неважно. Лучше, чем на «Змеевике», а все-таки неважно. Потом Маремьяна Власьевна посылала старика Огибенина вызнать, что и как, но

Огибенин доехал только до Челябинска, пропил деньги и пропал без вести. Час от часу делалось не легче.

Наступил август. Зарядило непроглядное уральское ненастье. Железная дорога еще не была проведена, а по тракту и проселочным дорогам не было ни прохода, ни проезда. Бесконечные обозы просто тонули в непроглядной грязи. Вообще на Урале август бывает хуже сентября.

Раз поздно вечером, когда Маремьяна Власьевна хотела уже ложиться спать, кто-то осторожно постучал с улицы в окна. Душа уже спала, и она сама пошла отворять ворота. Эго был Гаврила Семеныч. Он приехал верхом, весь мокрый, иззябший, несчастный. Привязав измученную лошадь к столбу выстаиваться, он прошел в заднюю избу, не снимая мокрого татарского азяма, присел к столу, закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Гаврила Семеныч... голубчик... господь с тобой!..

Ах, не говори ты со мной!.. Убить меня мало, — вот каков я есть человек... Только всего и осталось, что на себе: крест да ворот.

Что ты говоришь, Гаврила Семеныч?!.. Перестань, родной... Не с деньгами жить — с добрыми людьми.

— Вот именно... с добрыми...

Поршнев как-то нехорошо засмеялся и ударил кулаком по столу.

— Не жалей ты меня, Маремьяна Власьевна!..

Маремьяна Власьевна поставила самовар, сделала яичницу исправницу, добыла откуда-то водочки и стала угощать мужа.

— Назябся ты, вот погрейся-ка лучше, Гаврила Семеныч; а поговорить еще успеем...

— И то успеем... Здорово я промерз. Нитки сухой не осталось...

Поршнев выпил всю бутылку водки, чего раньше с ним не случалось, съел яичницу и сейчас же завалился спать. Мармьяна Власьевна видела, что ему все время хотелось ей что-то рассказать и что он пожалел расстраивать ее на ночь. Он проспал до самого обеда, попросил опохмелиться, но ничего не рассказывал. Маремьяне Власьевне показалось, что он как будто чего-то боится и как будто прячется.

— Ты никому не говори, что я приезжал, — предупредил он жену. — Мне тут нужно одного человека повидать вечером... Дельце есть.

Маремьяна Власьевна, конечно, догадалась, какое у мужа дельце, но промолчала. Как стемнело, Поршнев ушел и вернулся только около полуночи. Видимо, он где-то раздобылся деньгами и заметно повеселел.

— Ничего, старуха, еще поживем... — говорил он, укладываясь спать. — Никто, как бог.

— Я ведь ничего тебе не говорю, Гаврила Семеныч, — покорно ответила Маремьяна Власьевна. — Тебе лучше знать твои дела, а я твоя раба последняя. Что прикажешь, то и буду делать.

IX

Из дому Поршнев уехал как-то крадучись, как и приехал, ранним утром, когда еще было совсем темно. Он ехал в хорошем настроении и все потряхивал головой.

— Ах, ты, братец ты мой... а?!.. — повторял он вслух, точно кому-то отвечал, — Да-а... Как по писаному все вышло. Ай да Егор Спиридоныч!..

Дорога на Кочкарь была не близкая, а в

осеннюю распутицу и очень тяжелая. Но зато легко было на душе у Гаврилы Семеныча. Он так легко раздобылся в Миясе деньгами, совсем даром получил, то есть не даром, конечно, а под вексель, как научил Катаев. Раньше-то как выпрашивал, унижался и везде отказ, а тут сказал одно словечко: вексель — и готово. Раньше он слыхал о векселях и даже видал их, но хорошенько не понимал, в чем суть. А тут Катаев научил: скажи им, что за вексель-то и дом у тебя продадут. Только и всего. Поршнев у двух самых скупых толстосумов под вексель взял целую тысячу рублей, повторяя слова Катаева. Раньше отказывали, а тут катаевскими словами их точно обмороком обнесло. Поршневу казалось, что Катаев, действительно, немножко колдун: как скажет — точно топором отрубит.

До Кочкаря Поршнев ехал три дня, хотя и сильно торопился. Очень уж распутица одолела, и лошадь выбилась из сил. Под самой Челябой (вместо «Челябинск» на Урале говорят «Челяба») Поршнев встретил Гусева, который всегда появлялся неожиданно, точно из земли вырастет.

— Гавриле Семенычу нижайшее...

— Артамону Максимычу сорок одно с кисточкой. Куда бог несет?..

— А так... волка ноги кормят... Егор-то Спиридоныч соскучился по тебе. Поторапливайся... Поклонник наказывал сказать.

Кочкарь — по-ученому кочкарская система золотых промыслов — представляет собой одно из странных проявлений несметных уральских сокровищ. Это степное ровное место, отделенное от главных горных массивов Урала громадным расстоянием, было в буквальном смысле насыщено золотом, разработка которого, вероятно, займет не одну сотню лет. Удивительнее всего здесь то, что главную силу здесь составляли коренные месторождения золота, так называемые «жилы», тогда как в горах и предгорьях они составляли редкое исключение. В Кочкарь, как в обетованную землю, стекались десятки тысяч рабочих со всего Урала. Это было что-то вроде маленькой Калифорнии.

От Челябы, едучи прямо на юг, было до Кочкаря около ста верст. Здесь начинались уже благодатные земли Оренбургского каза-

чьего войска. Золотая лихорадка охватила громадную область уже лет пятьдесят, и ей не предвиделось конца. Катаевский прииск находился на «обочине» главных промыслов, недалеко от казачьей станицы Михайловской. В этой степной местности каким-то чудом сохранился казенный сосновый бор, и около него давно шли мелкие разведки. Катаев сделал заявку, по старым брошенным шурфам и поставил работы. Золото было рассыпное, в разрушистых, легко обрабатываемых песках, но добыча его обходилась дорого благодаря отсутствию воды. Промывку песков приходилось производить водой из степных озеринок, куда нужно было отвозить пески. Поршневу рассыпная добыча золота была знакома с раннего детства, и он относился к делу с большим доверием, хотя оно и требовало денег, денег и денег. Что значит какая-нибудь тысяча рублей, когда каждый субботний расчет рабочих уносил сотни рублей? Одним Словом, расходы по прииску превышали доходы, и даже всегда спокойный и невозмутимый Катаев хмурился к кряхтел. Впрочем, Поршнев больше не верил ему ни на волос и

только мечтал о том счастливом времени, когда он вернет затраченные на «Змеевике» и здесь деньги.

— Ну, вот и отлично, — похвалил Катаев, когда Поршнев рассказал о добытых им деньгах. — Теперь мы живой рукой обернемся... Вот только этой тысячи и недоставало, Гаврила Семеныч.

Между Катаевым и Поршневым были какие-то странные счеты. Когда Поршнев считал один, все выходило в его пользу; а когда начинал считать Катаев, получались обратные результаты. Так случилось и с привезенной Поршневым тысячей рублей: деньги точно растаяли. Оказались неоплаченными счета за харчи рабочих, за приисковые постройки, и т. д., и т. д. Даже вышло как-то так, что и денег не стало, да еще Поршнев оказался должным Катаеву.

— А ты считай, малиновая голова, — советовал Катаев. — Денежка счет любит... Мне твоих-то денег не нужно. Терпеть это я ненавижу, ежели сумление в расчетах. А у меня один расчет: твоя половина — моя половина.

Поршнев как-то сразу растерялся и даже

не нашел, что сказать Катаеву. Ездил, хлопотал, заложился свыше ушей — и вдруг ничего. Он вдруг точно весь потемнел.

Катаев больше не стеснялся и откровенно жил в одной комнате с Татьяной. Девушка очень скучала о брошенном ребенке и по-своему ненавидела старого сожителя, хотя и не могла уйти от него. Она давно жалела Поршнева за его простоту и не раз советовала бросить все и заняться в Мнясе своим делом.

— Стыдно, Татьяна, домой-то с пустыми руками ворочаться, — объяснял Поршнев. — Авось, бог поможет как-нибудь справиться, ну, тогда и домой...

Когда Катаев отобрал у него привезенные деньги, он сказал Татьяне:

— Меня бог наказывает, Таня... Перед образом тогда клялся, что в последний раз, и преступил клятву.

— Ив самом деле нехорошо, — соглашалась Татьяна, участливо качая головой. — Большой это грех...

Поршнев чувствовал себя уже лишним в прииске. Катаев точно не замечал его, как не замечают бедных приживальцев. Прямой

обиды не было, а чувствовалось скверно. И оставаться на прииске скверно и уходить некуда. Особенно тяжело делалось по ночам, когда в голову лезли самые дикие мысли.

С своей стороны, Катаев тоже начал тяготиться присутствием обнищавшего компаньона. Прогнать его так, за здорово живешь, как будто и совестно, а держать без всякого дела на своей шее начетисто. Катаев соображал и так и этак, пока не придумал новой штуки, от которой Поршнев еще раз ахнул.

Раз сидели они вечером за самоваром и пили чай. Катаев как-то особенно пристально смотрел на Поршнева, а потом проговорил со вздохом:

— Гляжу я на тебя, Гаврила Семеныч, и вчуже жалею... Что ты теперь, миляга, делать-то будешь?

— Не знаю, Егор Спиридоныч... Две руки остались — вот и весь капитал.

— Так-то оно так, а только с одними голыми руками недалеко уедешь... Без снасти, говорится, и клопа не убить. Да... Главная та причина, что выйдет тот срок твоим векселям, ну, у тебя за них дом-то и отберут.

— Отберут, Егор Спиридоныч! С тем и деньги у добрых людей брал...

— Так, так...

Подумав немного, Катаев прибавил:

— А ведь можно дом-то за вексель и не отдавать, Гаврила Семеныч... Есть такой фортель, и я даже очень хорошо удумал. Тебя жалеючи говорю... Векселя — векселями, а дом — домом.

Поршнев ничего не понимал.

— А ты, Гаврила Семеныч, продай мне дом-то... Понимаешь? Векселя-то с носом и останутся... Надо ведь умеючи деньги-то в долг давать. Ты подумай хорошенько, я тебя не тороплю... Можно сказать, прямо даром с меня денежки получишь. Одним словом, жалеючи...

Предложение было заманчиво, и думать тут было решительно нечего. При окончательных переговорах Катаев сильно прижал в цене, но выбирать было нечего. Уплатив Поршневу наличными шестьсот рублей, Катаев проговорил:

— Совсем даром денежки получаешь, Гаврила Семеныч. Ну, а пока пусть твои живут в

моем доме по-прежнему. Я его потом в духовной откажу своей пирожнице, ежели она, например, будет вполне соблюдать себя по своей женской части.

Обидно было все это слушать Поршневу, но, снявши голову, о волосах не тужат. Он опять ожил в надежде на какое-то дикое счастье. А вдруг пойдет золото, — в одну неделю можно разбогатеть. До заморозков оставалось еще больше месяца.

Но тут случилась новая беда. От осенних дождей выступила подпочвенная вода, и пришлось поставить дорогие насосы для откачки, а главное — терять дорогое время. Пески затягивало илом, и промывка замедлилась.

— Экое наше горькое с тобой счастье! — жаловался Катаев.

Полученные за дом деньги ушли по той же дорожке, как и добытые векселями. Через месяц Поршнев был совершенно свободен от всяких денежных знаков и неожиданно исчез с прииска, не простившись ни с кем.

Весной следующего года нашли в лесу «тело неизвестного человека», как гласит полицейский протокол. По произведенному дозна-

нию, это тело принадлежало «купеческому брату» Егору Спиридонову Катаеву.

Прошло еще полгода. В миясское волостное правление явился Поршнев с повинной:

— Берите меня... Это я убил Катаева...

Старый шайтан

I

Осип Максимыч Чебаченко, «ушибленный женой» доктор, как говорили про него злые языки, по обыкновению молчал, а его жена Дарья Гавриловна, бывшая акушерка, ликовала.

— Это будет целесообразно... — повторяла она ни к селу, ни к городу. — Да, целесообразно... Мадам Нансен исходила с мужем на лыжах всю Швецию, а затем Шпицберген; мистрис Пири тоже на лыжах исходила со своим мужем, капитаном Пири, всю Гренландию... Ты слышишь, Осип Максимыч?..

— Гм... да... то есть целесообразно...

— Отчего же я не могу ехать, то есть идти с вами в экспедицию? Кажется, ничего нецелесообразного в этом нет?

— О, да... гм... вообще... Очень целесообраз-

но...

В тоне мужа слышалась некоторая ирония, но жена давно привыкла не обращать на него внимания. Он был плечистый, коренастый мужчина, с окладистой русой бородкой, лет под сорок; она — сильная брюнетка с усиками и большими красными руками. В последнее время она была особенно занята собой, что забавляло мужа. Такая простецкая бабища и вдруг принялась на старости лет рядиться. Дарья Гавриловна и в молодости не блистала красотой, а теперь модные костюмы положительно делали ее смешной. Она походила на горничную, донашивающую старые платья своей барыни. Всего больше доставалось лицу — Дарья Гавриловна чем-то каждый вечер растирала его, засыпала пудрой, массировала морщины в углах глаз, подводила глаза, чтобы они казались больше, и подолгу «работала» перед зеркалом, не стесняясь присутствия мужа. Секрет этого запоздалого кокетства заключался в том, что в заброшенном на далекий север уездном городишке Заволочье она являлась почти единственной дамой и на этом основании пользовалась некоторым

вниманием мужчин.

В Заволочье было всего четыре тысячи жителей, а интеллигенция — наперечет по пальцам. И какая интеллигенция: какие-то дряхлые старцы, дослуживавшие свой срок на пенсию, молодые, начинающие люди, приезжавшие сюда на короткое время, до приискания настоящего места, и, наконец, очень сомнительные чиновники с прошлым, которые отбывали здесь свою чиновничью ссылку. Народ был все бессемейный, а две — три дамы достигли того предельного возраста, когда мужчины бывают только вежливы. Одним словом, Дарья Гавриловна почувствовала себя женщиной.

«Что же, на чужой стороне и старушка — хлеб», — ядовито думал про себя Осип Максимыч, наблюдая молодившуюся жену.

По наружному виду доктор казался добродушным малым, но, в сущности, он отличался скрытою ехидностью и даже ядовитостью. Если эти милые душевные качества не проявлялись постоянно, то только потому, что он боялся своей жены. Ненавидел ее и боялся. Она отвечала ему тою же монетой, но с тою разни-

цей, что нисколько его не боялась. В общем они составляли то, что называется счастливой парочкой.

Поднятый разговор об экспедиции, затеянной председателем земской управы Костылевым, как доктор и предчувствовал, закончился следующим супружеским диалогом:

— С нами примет участие Люстиг, — вскользь заметила она.

— Не может быть? У него блуждающая почка... Это не целесообразно... Виноват, я только теперь догадываюсь, для чего ты сшила себе зеленую фланелевую мужскую блузу...

— Оставь, пожалуйста... Ты ничего не понимаешь. У тебя всегда найдется какой-нибудь паллиатив...

Образование Дарьи Гавриловны было довольно скудно, и на этом основании она особенно любила вставлять иностранные слова, иногда совершенно неуместно, как в данном случае. Впрочем, ее репертуар в этом отношении не отличался обширностью: паллиатив, корректно, компромисс и т. д.

— Ты съездишь к нашему председателю земской управы... — продолжала Дарья Гав-

риловна как ни в чем не бывало, — и уговоришься с ним окончательно... Он так упрашивал меня принять участие в этой экспедиции.

«Врет, все врет... — думал доктор. — Впрочем, милейший Григорий Семеныч и сам немного того... не все дома...»

Чтобы быть последовательным, доктор отправился к председателю и повел дело довольно дипломатически, чтобы не показаться навязчивым. Но Григорий Семеныч предупредил его.

— А я только хотел ехать к вам, Осип Максимыч, чтобы уговориться относительно нашей экспедиции. Меня уже спрашивали Люстиг и Фомин.

Председатель земской управы Костылев отличался очень веселым характером и неистощимой предприимчивостью. В качестве холостяка он имел все права быть веселым, но за предприимчивость ему попадало. Последним председательским «пунктиком» было оживление глухого северного края при помощи путей сообщения, для чего он выпрямлял течение глухих упрямых рек, проводил новые дороги по непроходимым дебрям, мечтал о

соединительных каналах, пароходстве и даже своей собственной, земской Заволочской железной дороге. Его называли мечтателем и советовали обратиться к воздухоплаванию. Затеваемая экспедиция была связана именно с целью пройти новую линию земской дороги, которая должна была соединить Заволочье с бассейном Печоры. Наполовину была уже сделана просека, и оставалось докончить вторую половину.

— Очень хорошо... — повторял Костылев, потирая руки от удовольствия. — Какие места я вам покажу... Пальчики оближете!..

Доктора немного смущало только то, что Костылев ни слова не говорит об участии в экспедиции Дарьи Гавриловны, что составляло суть его визита. Самому ему как-то неловко было говорить об этом. Доктор сидел на диване и курил папиросу за папиросой, а Костылев, кудрявый блондин с большими близорукими глазами, шагал по комнате и развивал свои планы, постоянно повторяя: «Не правда ли?»

У доктора уже являлось предательское желание уйти домой, что он и сделал бы, если

бы не боялся показаться жене с пустыми руками. Но в самый критический момент его выручили Люстиг и Фомин. В Заволочье звонков не полагалось, двери не затворялись (во всем городе был всего один вор), и гостеприимный хозяин, когда в передней слышалось топтание и предупредительный кашель, обыкновенно кричал, как часовой на посту: «Кто там?» Но свои люди вваливались без всяких церемоний. Лесничий Люстиг, тонкий, черноволосый господин с претензиями провинциального щеголя, с брелоками, булавкой в галстуке и медными перстеньками, еще в передней визгливо продолжал спор, очевидно, начатый еще дорогой:

— А я вам говорю, Аркадий Яковлич, что будет прекрасная погода... да!.. Мой анероид никогда меня не обманывает, а потом я старый лесной волк...

— А мой барометр предсказывает ненастье, — сказал Фомин, довольно неуклюжий господин, косолапый и с несоразмерно длинной спиной, точно самой природой предназначенный всю жизнь волочить таксаторскую цепь. Да, ненастье...

Врет ваш барометр! А вы вечно желаете спорить и портите другим характер... Мой анероид... Впрочем, вы можете и дома оставаться, а мы совершим экспедицию и без вас... Ах, доктор, здравствуйте!.. Вот кстати, голубчик! А я только что от вас... да...

Люстиг играл в Заволочье роль души общества. Немного играл на гитаре, пел больным тенориком малороссийские песни, никогда не отказывался от партии в винт, рассказывал остроумные анекдоты и при всяком удобном случае считал почему-то нужным уверять всех, что он настоящий, коренной хохол, несмотря на свое имя, отчество и фамилию — Карл Карлович Люстиг.

— Ну, так как, Григорий Семеныч? — говорил Люстиг, фамильярно хлопая Костылева по плечу. — Гешено: оживляем край? Пусть губернатор говорит, что у нас в Заволочском уезде петух с тремя курицами подохнет с голоду, а мы ананасы будем разводить... Ах, кстати: Дарья Гавриловна согласилась принять участие в нашей экспедиции. Знаете, это самый лучший знак: разве возможна жизнь без женщины? Я ей, то есть Дарье Гаврилов-

не, свои лакированные ботфорты послал еще утром... Ах, виноват, я, кажется, выдаю чужой секрет...

— Что же, отлично... — бормотал Костылев, поглядывая на ухмылявшегося Фомина. — Да, хорошо...

Таким образом, вопрос был решен, и доктор мог вернуться на свое пепелище со спокойной совестью. Дорогой он тоже ухмылялся и повторял про себя: «Тоже обрадовала милейшая Дарья Гавриловна почтеннейшую публику... Вот дурища писаная!» Он был прав, потому что не успела за ним затвориться дверь, как Фомин и Костылев накинулись на Люстига.

— Вы нас без ножа зарезали!!.. Ну, куда мы потащим за собой эту корову?.. И все ваш язык, Карл Карлыч...

— Я... что же я? — вертелся Люстиг. — Я тут ни при чем. Она сама пристала ко мне с ножом к горлу... Как же отказать даме?

— Ну и ступайте с ней вдвоем оживлять край... — ворчал Фомин, пользуясь случаем. — Две ночи придется провести в лесу, и вдруг дама... тьфу!.. А вы ей свои сапоги посы-

лаете...

— Это какая-то зебра полосатая! — ругался Костылев. — И я могу только удивляться, что некоторые люди могут на нее обращать внимание...

Друзья доктора рассуждали, как истинные друзья, и чуть не поддались.

II

Сборы в экспедицию немного затянулись из-за того, что Дарья Гавриловна слишком долго выбирала фасон мужских панталон для своего костюма. Вопрос получился самый серьезный и рассматривался со всех точек зрения, с принятием во внимание всевозможных дорожных случайностей. Разрешился он тем, что Дарья Гавриловна собственноручно соорудила себе настоящие кавалерийские рейтузы. Доктор так и покатился со смеху, когда она показалась ему в примерке.

— Вот это так целесообразно и никаких паллиативов! — заметил он с обычной ядовитостью. — Корректно вполне и без компромиссов...

— Болван!..

Члены экспедиции собрались у Костылева

и всячески изощряли свое остроумие по адресу Дарьи Гавриловны.

— Недаром говорится, что бабьи сборы — гусиный век, — ворчал Фомин. — Одним словом, будет зеленая чертова кукла... А все Люстиг со своим языком... У меня барометр падает, господа...

Не менее внимания занял вопрос относительно головного убора, пока Дарья Гавриловна не остановилась на высокой шляпе тирольских охотников с орлиным пером. Последнее, впрочем, пришлось заменить петушиным, но это были уже пустяки.

Наконец костюм был готов в окончательной форме и назначен день выступления экспедиции. Стояли последние июльские дни, и погода начала хмуриться. Но ждать дольше было некогда. В состав экспедиции, кроме упомянутых выше лиц, входили лесник Парфен, в качестве «вожа», и председательский кучер Евсей. Половину дороги предполагалось сделать по просеке на лошадях, а дальше — пешком. Ранним утром у ворот докторского дома стояли шесть верховых лошадей. Первоначально Дарья Гавриловна хотела

ехать в дамском седле, но ввиду трудностей пути согласилась сесть в мужское, тем более, что где-то читала об англичанках, которые ездят по-мужски. Картина получилась во всяком случае эффектная, и Люстиг был в восторге, когда круглые ноги Дарьи Гавриловны обрисовались в седле во всей своей красоте.

— Я даже и не подозревал, что у вас такие красивые ноги, Дарья Гавриловна, — с утонченной любезностью говорил Люстиг.

— Мало ли вы чего не подозреваете... — кокетливо отвечала она, краснея от комплимента.

Костылев и Фомин только переглядывались, а доктор морщился. А вдруг рейтузы при каком-нибудь прыжке лошади лопнут? Кучер Евсей ухмылялся, а лесник Парфен, человек мрачного характера, старался не смотреть на шалую барыню и даже отплевывался.

Было рано, и экспедиция выступила из Заволочья, не возбуждая внимания еще спавших обывателей. Скверно было только то, что небо начинало хмуриться. За городом сейчас же начинался лес, прорезанный еще свежей просекой. Везде валялись неубранные бревна,

вывороченные пни, кучи хвороста, так что экспедиция вытянулась гуськом. Люстиг все время ехал за Дарьей Гавриловной и болтал всякий вздор.

— Если бы вы вместо блузы, Дарья Гавриловна, надели гусарский мундир, было бы еще лучше.

— Ах, отстаньте, насмешник... Мне и без того так стыдно... Все мужчины, и я одна женщина...

— А мне так совсем не стыдно...

В голове экспедиции ехал «вож» Парфен с двумя ружьями за спиной, а последними — председатель и Фомин.

— А ведь она походит на зеленого попугая, — уверял Костылев. — Не правда ли?

— И отчасти на Робинзона Крузо.

— Вернее — помесь Робинзона с зеленым попугаем... Новый зоологический вид. А милейший Люстиг напоминает огорченную миногу...

Просека тянулась на двадцать верст, до урочища Ядьва. Конечная цель путешествия была река Кибос, где была небольшая деревушка Войтух. Костылев, страстный поклон-

ник природы, целую зиму рассказывал о красотах девственного леса, но их пока никто еще не замечал. Лес тянулся какой-то чахлый, болотный. Ели и березы были вытянуты какими-то метелками и обросли бородатым лишайником, точно старческой бородой. Жесткая болотная трава не придавала особенной красоты пейзажу, а проросли белого оленьего моха придавали ему траурный характер. Единственно, что было красиво, это гиганты сибирские кедры. Они стояли, как бояре, в дорогих бархатных зеленых шубах. Некоторые деревья были в два обхвата.

— Разве это не красиво? — кричал Костылев, когда проезжали мимо такого великана. — Не правда ли? Некоторые деревья были так красивы, что мы их обходили просекой... Жаль рубить такого красавца.

Сначала этот восторг разделяли и другие, а потом начались протесты:

— И совершенно напрасно не рубили. Мы теперь вдвое дольше проедем из-за вашей сентиментальности.

Дарья Гавриловна, отъехав верст пять, перестала болтать и напрасно старалась устро-

иться в седле поудобнее. У нее начали отекать ноги и ломило спину. Седло оказалось самое неудобное, заставлявшее чувствовать каждое движение лошади. В довершение всего пошел дождь, и Дарья Гавриловна гневно обратилась к председателю:

— Что же это такое, Григорий Семеныч?

— Очень просто: дождь...

— А где же обещанная вами природа?

— Посмотрите внимательно кругом. Вон впереди прекрасный кедр.

— Благодарю вас...

К счастью, начавшийся дождь прекратился, и все приободрились, даже унылый скептик Фомин. Доктор только теперь догадался, что следовало захватить пледы и макинтош. Вон председатель оказался хитрее других: Парфен вез в тороках для него походный брезент.

— Благодарите бога, что в конце июля нет мошкары, — оправдывался председатель.

— Мы походим сейчас на героев Майн-Рида пли Купера и без мошкары, — отозвался доктор. — Вероятно, вы помните романы «Всадник без головы», «Следопыт»...

— Первое относится к Люстигу, — заметил Фомин. — Этот милорд плохо кончит, я это предчувствую.

Последние версты для Дарьи Гавриловны были настоящей пыткой. Она стерла ноги до кровн и должна была молчать, чтобы не подать повода к остроумию мужчин. А Парфен точно назло на все вопросы, скоро ли будет Ядьва, самым хладнокровным тоном отвечал:

— А вот сейчас, барышня... в один секунд...

— Он или сошел с ума, или смеется над нами! — негодовала Дарья Гавриловна, едва держась в седле.

— Pour etre belle — il faut souffrir[324], — отвечал Люстиг.

До Ядьвы ехали часов пять. Дарью Гавриловну сняли с седла чуть не полумертвую. Она едва держалась на ногах, и Люстиг должен был водить ее под руку, как опоенную лошадь. Остановку сделали на красивой лужайке, на берегу речки Ядьвы, где кончалась просека. Парфен устроил сейчас же громадный костер и повесил над ним походный медный чайник, чтобы согреть воды для чая.

— А ведь недурно, господа!.. — восхищался

Костылев. — И если подумать, что всего через несколько лет эта пустыня оживится... Появятся заводы, фабрики, мельницы, бумажные заводы, хлебопашество — и все это только благодаря новой дороге!.. Вырастут починки, деревушки, целые села... Не правда ли?.. Я верю в наш север, который до сих пор совершенно пропадал. Прибавьте к этому, что здесь найдут каменный уголь, медные руды, золото, нефть...

Все ничего не имели против будущего оживления настоящей пустыни, и только Фомин прибавил:

— Вы забыли, Григорий Семеныч, алмазные копи, клюквенный морс, маринованные грибы, трюфели, шелковичных червей и женьшень...

Все позавтракали с удивительным аппетитом, и каждому казалось, что он никогда еще не ел так вкусно. Одна Дарья Гавриловна молчала: ей трудно было сидеть, и каждое движение вызывало гримасу. Фомин и Костылев посматривали на нее с затаенным злорадством: «Э, пусть второй раз не лезет, куда не следует!»

— Господа, здесь, конечно, хорошо, а мы не должны забывать, что к вечеру должны быть на Кибасе, чтобы не заночевать в лесу... — предупреждал Костылев. — Правда, остается всего верст пятнадцать...

Он намеренно убавил целых пять верст, чтобы поддержать настроение. Впрочем, мужчины, когда выпили водки за процветание окружавшей их пустыни, ободрились и готовы были идти хоть к Северному полюсу. Дарья Гавриловна тоже выпила большую рюмку мадеры и получила способность слушать любезности сидевшего рядом с нею Люстига.

— Ну, господа, пора... — заявил Костылев, глядя на часы. — Парфен, смотри, не ошибись дорогой!..

— Эх, барин, неладно вы сказали... — ворчал «вож». — Слава богу, не впервой! А только вы под руку говорите...

Его беспокоило главным образом то, что в артели замешалась баба. «Уж это, известно, не к добру... И черт ее понес, подумаешь. Не бабьего это ума дело. Вон и Карл Карлыч увяз с ней, как косач на току...»

Дарья Гавриловна соображала про себя, что хотя пешком и будет идти трудненько, но все-таки лучше, чем ехать верхом по-мужски, да и отдохнуть можно.

— Теперь мы пойдем уже настоящим девственным лесом, — объяснил Костылев с апломбом хозяина, — Прошу, господа, обратить внимание... Я тоже в первый раз здесь летом, а линию проходили зимой. Будемте в некотором роде пионерами цивилизации, Дарья Гавриловна... Не правда ли?

Председательский кучер отправился домой. Лошади бежали к родному стойлу без поводьев, с деловым видом.

III

Рекомендованный Костылевым девственный лес с первых шагов оправдал свое название. Сначала шли по какой-то тропе, которая потом, как в сказке, вдруг исчезла. Деревья поднимались все выше и точно сознательно загораживали заволочским пионерам дорогу. Хуже всего были лежавшие в разных направлениях, давно поваленные бурей или упавшие от собственной старости громадные деревья. Они поросли зеленым мохом и лишай-

никами, и приходилось через них перелезать с большим трудом. Этот бурелом и валежник отравлял буквально каждый шаг вперед. Особенно доставалось Дарье Гавриловне, которой благодаря коротким ногам приходилось перелезать через каждую колодину по-ребячьи.

— Дда-а... — повторял доктор, наблюдая смешно карабкавшуюся по колоднику жену. — Получается история с географией.

В довершение всего попали в моховое болото. Ноги вязли по щиколотку.

— Парфен, да ты куда нас завел, негодяй?! — ругался Люстиг, уставший помогать Дарье Гавриловне в ее акробатических упражнениях.

Парфен остановился, почесал в затылке и только покрутил головой. Зимой тут никакого болота не было.

— Известно, Карла Карлыч, лес... ну, лес и есть...

— А болото откуда?

— Зимой-то его не было, значит, этого самого болота...

— Дурак!..

Сделали передышку. Костылев, как всегда, чувствовал себя превосходно и восхищался даже болотом. Он не желал замечать, что члены экспедиции начинают на него коситься. Его сейчас больше всего занимала точно из-под земли выскочившая собака, настоящая промысловая лайка. Дарья Гавриловна сочла нужным по-дамски испугаться.

— А может быть, это волк?.. А вдруг она бешеная и укусит меня?..

— Што вы, барышня, зачем бешеная, — объяснил Парфен, — Просто глупый пес... Лыской звать... И какой хитрый живот: я-то не хотел ее брать с собой, так она огородами бежала, а потом, значит, стороной за нами гналась. На стану и не подошла к нам, потому, мол, отправят вместе с конями домой...

— Да, миленькое путешествие... — ворчал Фомин.

— А мы скоро придем в эту деревню?.. — по-детски спрашивала Дарья Гавриловна. — У меня уж ноги промокли... Вы, Карл Карлыч, нарочно подсунули мне какие-то дырявые сапоги, чтобы у меня сделался насморк.

Принятая довольно снисходительно соба-

ка присоединилась к общей компании и с задорным лаем бросалась по сторонам, обнюхивая невидимые следы. Весь лес был наполнен самыми соблазнительными ароматами: пахло белками, лисицами, зайцами, тетеревами... Напав на след, она радостно взвизгивала и исчезала, как тень.

Дальнейшее путешествие являлось уже настоящим мучением. Дарья Гавриловна поминутно отдыхала, просила пить и капризничала.

— Знаете, что мы устроим? — говорил Фомин председателю, — Устроим волокушу и запряжем в нее Люстига. Пусть везет свою даму.

Волокушами называют на севере самый оригинальный и очень остроумный экипаж: две длинных жерди привязываются по бокам лошади таким образом, что задние их концы волокутся по земле. На этих концах и устраивается сиденье. Жерди выбираются тонкие, чтобы качало. На таком экипаже можно везде проехать без дороги.

Решающий момент для всей экспедиции наступил тогда, когда пошел дождь. Кругом болото, и даже укрыться негде.

— Что же это такое? — проворчала Дарья Гавриловна, в изнеможении опускаясь на первую болотную кочку. — Григорий Семеныч, куда вы нас завели? У меня будет воспаление легких... перитонит... Это совсем не корректно с вашей стороны!..

— Да, действительно... как-то странно... — поддержал жену доктор.

— Господа, если вы припомните, я решительно никого не приглашал... — оправдывался Костылев. — Да, решительно никого...

— А кто зимой все уши нам прожужжал о красотах девственного леса, черт бы его побрал?! — наступал доктор, повышая голос.

— Пожалуйста, без компромиссов... — визгливо прибавила Дарья Гавриловна.

— Нам остается только заблудиться в этом проклятом болоте, — ворчал Фомин, обращаясь тоже к Костылеву.

— Господа, прежде всего необходимо выбраться из болота, — ответил Костылев, сохраняя спокойствие. — А там поговорим... Парфен, иди вперед... Господа, терпение...

Вся экспедиция как-то сразу получила самый жалкий вид. Пионеры заволочской ци-

вилизации шагали с самым озлобленным видом, проклиная председателя. А дождь все продолжался. Часы показывали четыре. Костылев только теперь встревожился, именно когда Парфен оглянулся на него и почесал в затылке. Экспедиция заблудилась... Придется ночевать в лесу, все промокнут до нитки, запасов никаких. Одним словом, отлично... Приходилось идти по компасу наудалую. Через час Парфен вывел господ из болота, чему все обрадовались несказанно. По крайней мере, можно развести огонь и обсушиться.

Дорогой Костылев имел удовольствие слышать, как друзья без особенных церемоний прохаживались на его счет, называя, например, идиотом, сумасшедшим и т. д. Он скрепя сердце делал вид, что ничего не слышит, и утешал себя поговоркой, что истинные друзья познаются только в игре и в дороге.

Парфен быстро устроил под развесистой елью громадный костер, а около пего из мягких пихтовых ветвей ложе для барышни. Дарья Гавриловна повалилась па эту импровизированную постель и залилась настоящими слезами. Она и устала смертельно, и промок-

ла, и хотела есть... Доктору пришлось ухаживать за ней, как за ребенком: он с трогательной заботливостью сушил над огнем все принадлежности ее костюма. Мужчины, конечно, ушли подальше и устроили себе другой костер. Здесь уже разыгралась настоящая драма.

— Это просто свинство! — решительно заявлял Люстиг, разместив кругом костра в живописном порядке подробности своего туалета. — Да, свинство...

— Это вы, кажется, по моему адресу? — заметил Костылев, начиная утрачивать хладнокровие.

— Если хотите, то по вашему...

— Вы... вы... вы...

Произошла очень бурная сцена, так что Фомину пришлось невольно принять на себя роль доброго гения.

— Господа, ради бога успокойтесь! Простая случайность... Я предупреждал, что мой барометр падает, Карл Карлович, а вы спорили и смеялись...

— Убирайтесь вы к черту с вашим барометром!..

— Позвольте, вы забываетесь, милостивый государь!.. Я... я... я...

Тут пришлось вступиться уже председателю, но враги накинулись на него — с необыкновенным азартом. Костылев начал даже потихоньку отступать, потому что самые разумные и убедительные слова потеряли теперь всякий смысл.

— Куда вы нас завели... а?..

— У вас в голове зайцы прыгают!..

На шум и крик прибежал доктор. Он был в одном жилете и без шапки.

— Господа, пожалуйста, успокойтесь!.. — убеждал он, делая самые трогательные жесты обеими руками. — У Дарьи Гавриловны лихорадка, может образоваться сыпной тиф, а вы тут поднимаете крик па целый лес... Дарья Гавриловна плачет... у нее истерика... Карл Карлыч, Аркадий Яковлевич, Григорий Семеныч!

— Убирайтесь вы к черту, то есть к вашей жене... да!..

Кто крикнул роковую фразу, осталось неизвестным, но доктор затрясся от бешенства и ни с того ни с сего бросился, подняв ку-

лаки, к Костылеву. Что могло произойти среди этих промокших до костей героев, трудно сказать, но Парфен испугался и спрятался за кустом. Еще наотвечаешься за одуревших господ... Вон какая музыка пошла!..

Микола милосливый, Успленья матушка... — шептал он, закрывая со страха глаза.

Когда он открыл глаза, ему сразу сделалось все понятно. Сначала предупредительно зарычала Лыска и сделала несколько прыжков к лесной опушке, но сейчас же вернулась и, поджав хвост, спряталась за хозяина.

«Господи, уж не медведь ли?» — подумал Парфен.

Привычным охотничьим глазом он сразу заметил человека, прятавшегося за стволом сухарины, то есть высохшего па корню дерева. Собственно, он видел не самого человека, а только выставлявшуюся из-за дерева лысую, совсем как пасхальное яйцо, голую голову. Недаром Лыска, ходившая на медведя, так оробела и схоронилась за хозяйскую спину. В следующий момент Парфен, размахивая своей шапкой, уже бежал к продолжавшим галдеть господам и, задыхаясь на ходу, кричал:

— Барин... ваше благородие, Григорий Семеныч!.. Родимый мой!.. Ён пришел сам!..

— Кто ён?

— А который, значит, все время нам глаза отводил и в болото всех загнал... «старый шайтан»... ён самый... Эвон за деревом прячется!.. Ах, ты, господи, грех-то какой вышел!.. А я на барышню судачил, потому как неподобное дело женскому полу бродить по лесу без дороги... Я его сейчас предоставлю, старого колдуна!..

Никто ничего не понимал. Но появление «старого шайтана» сразу прекратило начинавшийся бой врукопашную, именно, когда доктор бросился с кулаками на Костылева.

IV

«Старый шантан» продолжал стоять на старом месте. Это был невысокий, сгорбленный старик, одетый в лохмотья и даже не в лохмотья, а во что-то такое, чего разобрать было нельзя Вернее сказать, этот костюм состоял из всевозможных заплат, причем куски материи мешались с вытертыми, изношенными кусками собачьего и оленьего меха. Он был без шапки и босой. Старое лицо тоже точ-

но было составлено из отдельных кусков тонкой и сухой старческой кожи, а глубокие морщины показывали места бесчисленных швов. Узкие темные глазки, как у хищного зверька, совсем прятались под напухшими красными веками. На этом лице из кожаной мозаики волосы топорщились какой-то бурой шерстью, как лишайники на очень старых деревьях. Голова была совершенно голая, и только за ушами осталось по коротенькой прядке волос — остатки кос, какие носят вогулы.

Рядом со стариком стояла пестрая, черная, с ярко-желтыми пятнами, собака, точно застывшая в своей неподвижной позе. Она вся была зрение и слух. Это был великолепный экземпляр породистой вогульской лайки, которой в лесу не было цены. Доказательством ее благородного происхождения были желтые круглые пятна на бровях, что знатоками-охотниками особенно ценится. Широкая грудь, тонкие ноги, задранный на спину кольцом пушистый хвост, острая морда и большие, необыкновенно живые глаза довершали картину редкого типа. К этому еще нужно добавить необыкновенную чистоту и особен-

ный блеск густой шерсти, какой встречается только у лесных животных и уже теряется у домашних собак, вкусивших запретного плода цивилизации — собачьих конур, дворов и комнат.

«Старый шайтан» долго и внимательно смотрел, что делается у докторского костра, а потом как-то по-заячьи присел на корточки и удушливо захохотал. Именно в этот момент его и накрыл Парфен.

— Ты это чему обрадовался, старый шайтан?

— Депка смешной!.. Ух, какой смешной депка!..

Дарья Гавриловна перед костром сушила распущенные волосы и, действительно, имела оригинальный вид, потому что осталась в одних зеленых рейтузах. Зеленая блуза, беспомощно опустив пустые рукава, висела на колышке перед огнем.

— Ах, ты, старый шайтан!.. Это наша барышня... — объяснил Парфен, благочестиво отворачиваясь от соблазнительного зрелища.

— Депка... — упрямо повторял «старый шайтан» и опять хохотал, широко раскрывая

свой беззубый рот. — Ух, какой смешной деп-ка!..

Собаки сначала поворчали друг на друга и проделали все церемонии первого собачьего знакомства, особенно когда вогул сделал приятное открытие, что Лыска — дама. Впрочем, за излишне торопливые любезности он получил от Парфена удар ногой в бок, а Лыска пребольно рванула его зубами за ухо. Парфен обратил особенное внимание на берестяной заплечник[325], болтавшийся на спине «старого шайтана», и без церемонии открыл его.

— Эге, да тут и уха будет господам и косач на жаркое... Давленый косач-то?

— Давленый...

— Этакий ты черт-Иваныч... Ну, да ничего, не говори только господам, а самим им не догадаться, что ты силками душишь птицу.

— Стреляная скоро портится....

Появление «старого шайтана» произвело известную сенсацию. Всем вдруг сделалось стыдно. Ведь еще немного, и могла произойти настоящая свалка. И все это происходило на глазах постороннего человека, Парфена, который вернется домой и будет всем рассказы-

вать, как дрались в лесу образованные господа. Вообще очень хорошо... Теперь, чтобы затушевать собственное смущение, все с особенным вниманием отнеслись к «старому шайтану».

— Ты, братец... да... гм... Ты здесь живешь? — совершенно глупо спрашивал Люстиг.

— Везде живу... — отвечал старик, улыбаясь своей беззубой детской улыбкой.

— У тебя дом есть где-нибудь?..

— Какой у него дом, Карла Карлыч, — объяснил Парфен. — Летом-то по лесу шляется... Наладит себе шалашик из еловой коры и спит в нем, а зимой околачивается около добрых людей. В избы-то его не пущают, ну, так он по баням живет.

Фомин занялся рассматриванием ружья «старого шайтана». Это была самая старинная малопульная винтовка с самодельной ложей. Как старик ухитрялся убивать из нее белок и куниц, трудно было понять.

— Да, орудие... — заметил Парфен тоном специалиста. — А шайтан из нее вот как лихо запаливает. Белку прямо в голову бьет... Он

из рыбы кожу умеет делать. Ну-ка, шайтан, покажи господам свою рубаху.

Рубаха оказалась верхом вогульского искусства. Она была действительно сделана из выделанной рыбьей кожи и сшита беличьими жилами.

— Настоящий пещерный человек, — определил доктор. — Интересный экземпляр вообще. Прямо для этнографического музея.

Костылев ничего не спрашивал «старого шайтана», не осматривал его, а просто налил походный серебряный стаканчик водки и молча поднес его старику. «Старый шайтан» взял стаканчик, перекрестился и выпил, блаженно закрыв глаза.

— Да ты разве православный, старик? — удивлялся Фомин.

— Мой четыре раза православный!.. — не без гордости ответил «старый шайтан». — Два раза отец крестил да два раза сам себя крестил... Рубаха получал, крест получал... потом острог сидел...

— Это его, ваше благородие, за омман в острог-то садили, — объяснял Парфен, — потому не омманывай попов, что некрещеный.

Исправник-то тебя драл, шайтан?

— У! у!.. Шибко драл... Шайтан умирать хотел...

Всем это показалось очень смешным, и «старый шайтан» получил от Люстига второй стаканчик водки.

— Вы ему не очень втравляйте водку, Карла Карлыч, — заметил Парфен не без зависти. — Много ли старику надо... Ему-то, сказывают наши старики, больше ста лет. А напьется прежде время и из лесу не выведет...

— Разве мы заблудились? Этого еще недоставало!.. Господа, поздравляю!.. Парфен, да ты сбесился?.. Как ты смел, каналья!.. А?..

— Ваше благородие, Карла Карлыч, моей тут причины никакой нет, — смело оправдывался Парфен. — Зимой ездили с Григорий Семенычем, — никакого болота не видали... Я и сам дивился: откуда болото взялось? А это, Карла Карлыч, ён глаза отвел, шайтан... Уж я верно вам говорю. Рукомесло-то у него известное... Ни одной свадьбы без него не играют у нас. Самый вредный человек... Известно, живет в лесу и с разной нечистой силой знается. Даве как напугал у меня Лыску... Я уж поду-

мал, не медведь ли, грешным делом.

— Так он, по-твоему, колдун?

— Известно, колдун... Ен все может: и кровь заговаривает, и килу устроит в лучшем виде, и глаза отведет. Бабы, которые выкликают, до смерти его боятся. Это у него разлюбезное дело, штобы в бабу запустить беса... У него, ваше благородие, на все есть свой заговор.

— И травами лечит? — спросил доктор.

— И травами и кореньями, а главное — наговорами. Он слово знает...

— Какое слово?

— А это уж он знает... Наши мужички давно собираются его порешить, да только страшно: не прост человек.

«Старый шайтан» слушал и улыбался своей детской улыбкой.

— Шайтан, знаешь слово? — спрашивал его Люстиг.

— Знаю много слов... хорошие слова...

— Ён, ваше благородие, и зверя и птицу заговаривает... Идешь рядом с ним по лесу и ничего не видишь, а ён хлоп да хлоп из своей орудии. А рыбу удит перстом. Своими глаза-

ми видел: опустит руку в воду, оттопырит один перст, ну, рыба к нему и бежит.

— Может быть, рыба принимает его палец за червя?

— Нет, она тоже не бросится зря, значит, рыба... Хитрая она... А ён ее сцапает и тут же живую съест. Да вот у него и сейчас, ваше благородие, в заплечнике и тетерька и рыбина. Мы-то шли по лесу и ничего не видели, а он зацепил тетерьку.

Последнее всех обрадовало. Значит, будет и уха и жаркое. Все уже испытывали первые приступы голода.

Доктор только теперь вспомнил, что жена сидит у своего костра одна, и торопливо направился к ней с радостной вестью об ужине. Дарья Гавриловна встретила его с особенной суровостью.

— Это очень хорошо с вашей стороны бросать меня одну... Вы там деретесь, а я тут хоть пропадай... Очень корректно!..

— Никто не думал драться, а только вышел крупный разговор... да...

Он торопливо рассказал об интересном колдуне, о том, что они заблудились, что бу-

дет ужин. Дарья Гавриловна успокоилась. Она успела высушить свое платье и была довольна, что дождь перестал идти. А провести ночь в лесу у костра даже весело... Когда зашел разговор об ужине, она огорчила мужа хозяйственным вопросом:

— А где же у нас соль?

Доктор не нашел ничего сказать лучше, как обвинить председателя, который должен был предусмотреть все.

— Он кругом виноват, Даша... Ах, негодяй!.. А колдун — преинтересный субъект и ест рыбу живую без всякой соли... да...

— Ну, это уж совсем нецелесообразно!..

V

Скоро вся компания собралась около костра под елью. Стояла темная июльская ночь. Где-то в болоте скрипел неугомонный коростель. Общее внимание сосредоточивалось теперь на «старом шайтане», который сидел перед огнем на корточках. Водка на него сильно подействовала, и он улыбался блаженной улыбкой.

— Сколько тебе лет, дедушка? — спрашивала Дарья Гавриловна.

— А я забыл... Парфен говорит, что больше ста...

— У тебя родные кто-нибудь есть?

— Все подох... Много было, а хлеба было мало... зверя мало, птицы мало...

«Старый шайтан» совершенно не к месту засмеялся, точно вспомнил какой-нибудь веселый анекдот. Он говорил ломаным русским языком, но его можно было понять.

— Совершенно дикарь... — брезгливо заметил Люстиг, пожимая плечами.

— А разве тебе их не жаль, покойных родственников? — продолжала экзаменовать Дарья Гавриловна. — Ведь не чужие были...

Слово «жаль» оказалось совсем непонятным старику, как ни старались его объяснить.

— Подох... околел... — бормотал он, продолжая улыбаться. — И ты околеешь...

— А давно это было, когда подохла твоя родня?

— Ух, давно!.. Водка был дорогой тогда...

У «старого шайтана» была своя хронология: он считал по цене на водку, то есть когда был откуп и когда появился акциз. Всем это

казалось очень забавным, и все чувствовали себя весело. Парфен сварил в чайнике уху, но не было хлеба и соли. Дарья Гавриловна захватила с собой только несколько пирожных и фунт карамелек.

— А что же, это будет очень оригинально, — заявил Люстиг. — Кажется, еще никто не ел уху с карамельками и пирожным.

— Сахар заменяет до известной степени соль, — прибавил доктор.

Уху съели и без соли, а затем съели зажаренную в золе тетерьку, причем как-то забыли, что «вож» Парфен и «старый шайтан» тоже хотят есть. Костылев почти все время молчал. Ему не нравился тон, каким разговаривали со стариком-вогулом цивилизованные люди. Потом зачем Дарья Гавриловна угощает старика водкой?

— Шайтан, а ты бывал в городе?

— Очень бывал... три раза бывал... Острог сидел...

— За что же тебя в острог садили?

— А не знаю... Бумагу требовал начальник, у шайтана бумага нет...

— За бесписьменность судился, — объяс-

нил Парфен. — Значит, начальство паспорта требовало...

— Нехорошо в остроге, шайтан?

— Зачем нехорошо? Два раза в день кормили... Ух, хорошо!.. Потом шайтана на суде судили... лишили всех прав состояния...

— А какие у тебя права?

— Не знаю... начальство знает...

— Ну, как же ты теперь без всяких-то прав живешь?

— Ничего, живу...

Все хохотали. Что может быть, в самом деле, смешнее дикаря, лишенного каких-то мифических прав? Смеялся вместе с другими и «старый шайтан». У него было единственное право— умирать с голоду, — и этого священного права не могла его лишить даже самая сердитая власть.

— У нас сегодня этнографическая ночь, — заметил доктор, любивший научные определения. — Не правда ли, Григорий Семеныч? Что вы все время молчите?

— Да так... не говорится. Да и спать пора, господа. Завтра рано придется встать. Предупреждаю...

Был уже девятый час, и все охотно согласились с этой счастливой мыслью. Парфен очень искусно устроил «девственное ложе» для Дарьи Гавриловны. Он надрал моху, наломал мягких пихтовых веток и даже пожертвовал собственный зипун.

— Настоящая перина будет, барышня...

— Я боюсь одна спать, господа, — предупредила Дарья Гавриловна. — Пожалуйста, не бросайте меня на произвол судьбы, как давеча... Это будет некорректно с вашей стороны.

Кругом ели устроилось настоящее становище. Каждый устроился, как хотел. У огня оставались Костылев и «старый шайтан». Старик сильно захмелел, крутил время от времени своей головой и продолжал улыбаться.

— Зачем ты водку пьешь, шайтан? — спрашивал Костылев, раскуривая папироску.

— Ух, люблю!.. Шибко люблю!

— Потом будешь хворать... голова заболит...

— У меня не болит...

Молчание. Тихо-тихо кругом, точно в пустой церкви. Изредка эта тишина нарушалась только теми неясными звуками, которые по

ночам слышатся в лесу и происхождение которых трудно объяснить. Осторожно ли крадется хищный зверь, шарахнулась ли шальная ночная птица, стучит ли собственная кровь в ушах — ничего не разберешь. Вековой лес стоит темной загадкой, в нем чувствуется что-то недосказанное, какая-то затаенная дума... Фантазия невольно разыгрывается, но — увы! — у цивилизованного человека она, как ощипанная птица, бессильна подняться с земли. Костылев с завистью смотрел на дикаря-вогула, для которого лес был живым существом и говорил с ним тысячью голосов. Да, тут было все живое, и незримо витали в воздухе добрые и злые духи. В каждом шорохе слышался их таинственный шепот, предупреждающий, повелительный, вещий.

— Почему ты остался здесь? — спрашивал Костылев начинавшего дремать «шайтана». — Ведь другие вогулы давно переселились за Урал, на Лозьву... Ты помнишь, как они уходили отсюда?

— Шибко помню... Там лучше — вот и ушли.

— А ты почему не пошел с ними?

— Мне нельзя... Они — простые вогулы, а я — князь.

— Ты князь?..

— Шибко князь... князь Киваката... Меня русские шайтаном зовут, а я — князь. Когда начальник меня драл, я и ему не сказал, что я — князь Киваката... Шибко драл, а мне смешно... Мне нужно его было драть, а я молчал. И в остроге молчал... Вот я и остался здесь. Все мое здесь, каждое дерево...

— Это казенная дача...

— Я не отдавал ее никому... Я ее берегу... каждое дерево берегу...

— А вот я проведу дорогу, и поселятся в твоем лесу русские?

— Пусть селятся, а все-таки все место мое... Я не могу его отдать никому.

— А когда ты умрешь, тогда что будет?

«Старый шайтан» посмотрел на Костылева своими темными глазками и засмеялся, как смеются над наивным ребенком.

— Тогда все вогулы вернутся сюда и прогонят всех русских, — уверенно проговорил он. — О, вогулов много, как листьев на дереве!.. Вогулы самый сильный народ... Вот ты

строишь для них свою дорогу... И все другие будут работать для вогулов... Я уж видел в Усолье, какие для них устроены русскими железные лодки и железная лошадь... Все это для вогулов... Они только ждут, когда им идти... Вернутся и все покойники... они только отдыхают пока... Все покойники придут. Старый шайтан все знает, только молчит... И я буду управлять своим народом, а ты будешь мне кланяться... Все вогулы будут есть каждый день и все будут счастливы...

«Старый шайтан» долго говорил о светлом вогульском будущем и улыбался блаженной, детской улыбкой.

В болоте

(Из записок охотника)

На Урале есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда-нибудь с возвышенности, можно отлично видеть сохранившийся уровень воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфянины и болота сохранили прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он понижается в виде широких ложбин и неправильной формы ям.

Ходить по такому заросшему озеру опасно; почва так и колышется под ногами, точно идешь по натянутому полотну; в других местах нога проваливается совсем, а кое-где еще сохранились полузатянутые осокой и лапушником глубокие озерные «окна», которые даже не замерзают зимой. Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная, тоже какая-то мертвая: жесткая осока, ситник, белоус, мхи и разнообразный кустарник, начиная со смородины по краям и кончая вербой. Особенно замечательны болотные

сосны и березы, по которым сразу узнаешь настоящее болото: деревья здесь превращаются в жалких карликов, точно золотушные дети, а между тем таким карликам бывает иногда лет за сто. Болотная дичь любит эти мертвые места и плодится здесь во множестве, тем более что есть такие болота, которые решительно летом недоступны охотникам.

Раз утром в конце июля я долго бродил с собакой по берегу такого болота, еще находившегося в периоде зарастания: торфяной слой залег всего на глубине полуаршина, а поверхность представлялась редким кочкарником, с водяными просветами. Под водой отчетливо можно было рассмотреть пестрый ковер прошлогодних водорослей, точно дно было выложено деревянной коричневой мозаикой. В девять часов уже сильно парило. Небо было совершенно безоблачно, и от болота поднимались тяжелые испарения. Становилось просто душно, и время было подумать об отдыхе; собака тоже устала и смотрела на расстилавшееся болото ленивыми глазами, опустив хвост. Недалеко высилась камени-

стая горка с сосновой гривкой наверху и зеленой опушкой из рябин внизу; я направился к ней, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени у ключика.

Я забыл упомянуть о страшном враге, который гнал нас из болота сильнее солнечного зноя; этот враг — болотный комар и какая-то мешка, бессовестно лезшая в рот, в нос и даже в уши. Приходилось постоянно отмахиваться, причем враг исчезал, как дым, а лицо, руки и шея начинали просто пухнуть от бесчисленных укушений. Люди с чувствительной кожей иногда возвращаются из такого болота с совершенно вздутыми лицами, так что даже глаза заплывают, но, конечно, привычка и некоторая опытность предохраняют несколько от подобных превращений. Шлепая по болоту, я думал с особенным удовольствием о разведенном огоньке-куреве, который разгонит болотных разбойников, но в этот момент собака глухо заворчала, предупреждая о присутствии чужого человека.

В десяти шагах от меня, по колено в воде, стояла низенькая старушка с глубоко надвинутым желтым платочком на голове; в подо-

ле желтого сарафана она держала пучки какой-то желтоватой болотной травы.

«Какая-нибудь деревенская знахарка...» — мелькнуло у меня в голове.

— Бабушка, где здесь найти ключик? — спросил я, подходя к старушке.

— А вот сейчас под горкой, милый... вон черемуха где, — приветливо ответила знахарка, нагибаясь за новой травкой.

— Спасибо, бабушка... Травку собираешь?

— Травку, барин, травку... хорошую травку.

Я поплелся вперед к указанному месту, но старуха меня остановила:

— А там, барин, у ключика-то, у меня внучка махонькая покинута, — предупреждала она, заслоняя морщинистое, высохшее лицо от солнца рукой. — Вот песик-то твой не напугал бы...

— Хорошо, бабушка, не испугаем.

— Спит она, внучка-то...

Под кустом черемухи я действительно нашел и ключик и спавшую внучку. Место было прелестное, но можно было пройти в двух шагах, не заметив его. В глубине сцены вы-

сился скалистый гребень, обросший молодым сосняком, а ближе к воде тянулась опушка из черемухи, рябины и тальника. Нужно было раздвинуть ветви низкой черемухи, чтобы попасть на неправильной формы лужайку, поросшую густой зеленой травой. Ближе к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хрусталь, ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена по краям пестрыми камешками. Очевидно, старушка-знахарка частенько бывает здесь.

Найти спавшую девочку было тоже довольно трудно, хотя она спала почти совсем на виду, в тени той самой черемухи, на которую указывала старушка. Это была совсем еще маленькая девочка, лег четырех; она спала прямо на траве, покрытая поношенным ситцевым фартуком, из-под которого выставлялись только босые ножки, покрытые грязью и царапинами.

Устроить курево было делом минуты, и скоро едкий соломенный дым потянул кверху столбом, потому что день был безветренный и воздух стоял, не шелохнувшись. Я с наслаждением напился ключевой воды, умылся и,

не торопясь, принялся готовить охотничий завтрак из убитых куликов.

— Дай-ка я тебе, барин, сама изжарю пташек-то... — проговорил за мной голос знахарки.

Я даже вздрогнул от неожиданности, и сконфуженная собака, прокараулившая подкравшуюся старуху, зарычала не на шутку и долго не могла успокоиться. Теперь я вспомнил, что я давеча совсем не заметил старухи, хотя она бродила по совершенно открытому месту и в момент встречи, как и теперь, точно выросла из земли. Признаюсь, меня всегда пугают эти неожиданные молчаливые появления, вырастающие из земли, как тени, и я каждый раз несколько времени испытываю неприятное чувство человека, который бродит в темноте и неожиданно наталкивается на совсем незнакомые предметы.

Пока я передумывал все это, знахарка с каким-то ласковым шепотом выложила собранную траву около спавшей внучки, а потом принялась за моих куликов; она, очевидно, умела обращаться с этой дичью, хотя крестьяне болотной дичи сами никогда не едят, счи-

тая ее поганой. Меня заинтересовало это обстоятельство.

— Бабушка, ты это где научилась куликов-то жарить? — спросил я, вынимая еще двух на ее пай.

— Нет, барин, я не ем... никакого мяса не ем, — отказалась старушка и как-то печально улыбнулась. — А где я научилась куликов-то жарить... Старая я, барин, больно старая. Мало ли чего знаю... Да, старая, даже на што комары — и те не едят. Тебя вот как накрасили, а меня не едят, потому и комар свой вкус знает: одно — старое, другое — молодое...

Знахарка опять улыбнулась и, не торопясь, принялась завертывать куликов в широкие листья какой-то травы, а потом зарыла их в золу. Я рассмотрел ее подробно только теперь.

Сгорбленная, но еще бодрая, она была одета в поношенный темный ситцевый сарафан и такую же рубашку; большой темный платок покрывал голову вместе с загорелой морщинистой шеей. Ноги были босы, со следами болотной тины. Сморщеннее лицо смотрело ласковыми, светлыми глазами, сохранивши-

ми еще таившуюся в них искру жизни; когда-то это лицо, вероятно, было очень красиво, потому что и теперь еще не утратило известной приятности, особенно когда старушка улыбалась такой хорошей, спокойной улыбкой. Очевидно, она умела водиться с господами и держала себя с тем ласковым достоинством, с каким умеют обходиться заслуженные старушки-няни. Обыкновенные деревенские старухи как-то дичатся незнакомого барина и постоянно охают и стонут или ворчат.

— Какую это ты, бабушка, травку собирала в болоте? — спросил я, когда кулики были уже готовы.

— Травку-то?.. А хорошая, божья травка... Петров-Крест прозывается.

Старушка принесла несколько стебельков и подала мне; Петров-Крест походил на ландыш, только был длиннее и имел мясистый белый корень в форме раздвинутых пальцев.

— Почему эта травка Петровым-Крестом называется? — спросил я, продолжая рассматривать отдельные стебельки.

Старушка выбрала один стебель, поверну-

ла его вверх корешком и подала мне: корешок имел неправильную форму креста. Дальнейших объяснений не требовалось.

— Для чего же тебе эта травка?

— А хорошая травка, барин, пользительная... помогает во многих болестях: когда к сердцу подкатит, поясницу ломит, от головы... От всего пользует...

— Одну эту травку собираешь или еще и другие?

— И другие травы собираю, которые на пользу... Помогаю, кто попросит... Есть больно хорошие травки, барин. Ах, какие травы есть!..

Старушка благочестиво покачала головой и тяжело вздохнула.

Старуха сидела на самом припеке и жевала какую-то корочку, которую прикрывала ситцевым платочком; зубы у ней были еще крепкие, так что слышно было, как она смело разгрызала сухие места. Моя собака, прищурившись, все время следила за ней и несколько раз переводила глаза на меня, точно спрашивая, как ей быть. Курево дымилось попрежнему; под кустами черной смородины

толклись столбом комары, в траве стрекотали какие-то козявки, где-то далеко перекликались журавли. Летний зной все наливался, и даже в тени не было спасения — из кустов так и несло тяжелой, теплой струей, бросавшей в пот. Я надеялся уснуть, чтобы переждать самое жаркое время дня, но все попытки в этом направлении кончились полной неудачей, и в результате получилось чувство какого-то расслабления, точно после жаркой бани. А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала уходить с солнечного припека.

— Бабушка, ты изжаришься на солнышке! — проговорил я наконец, чувствуя, как мне самому делается жарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце старуху.

— Нет, милушка, я рада солнышку-то... люблю его. Кровь-то старая, не греет, а солнышком-то ее и разгоняет: все бы вот так-то сидела... хорошо... Больно я люблю это солнышко, милушка, ждешь не дождешься его зиму-то зимскую, а как солнышко начало пригревать — я все по лесу брожу, по лугам, по болотам. Дотоль буду ходить, поколь тела

своего не изношу... На что оно мне теперь? Будет уж, пожила, погрешила...

— Да какие у тебя и грехи, бабушка... Так, пустяки какие-нибудь?

Старушка пытливо посмотрела на меня и тяжело-тяжело вздохнула.

В это время проснулась спавшая девочка; завидев чужого человека, она сделала серьезное лицо и вопросительно посмотрела на бабушку. Это был прехорошенький ребенок — круглолицая, с синими глазками и льняными волосиками, с румянцем во всю щеку, с таким детски-серьезным складом пухленького ротика и светлым, чистым взглядом, каким умеют смотреть только дети. В крестьянской среде редко встречаются очень красивые дети, и я с особенным удовольствием рассматривал маленькую внучку.

— Красавица будет, — проговорил я как-то невольно.

Старушка вдруг нахмурилась и как-то ворчливо заговорила:

— Ох, милушка, не нужно это слово говорить... неладно ты сказал... нехорошее это слово, барин.

— Как нехорошее?

— Да уж так, видно... Танюшка, милушка, что ты так воззрилась на барина-то? Барин хороший... Хошь поесть-то? На-ка вот, дитятко, у мене тебе припасено было...

Старушка достала спрятанный под кустом узелок и вынула из него ломоть белого хлеба; девочка следила за ней с заспанной блаженной улыбкой и крепко ухватилась за ломоть обеими ручонками.

— Что же я нехорошее такое сказал? — допрашивал я, когда кусок хлеба был съеден и Таня опять успела заснуть, — Вот и в песнях про красоту-то поют...

— Ах, милушка, милушка... Погибель эта самая красота нашему брату, бабе... да! Ты думаешь, я всегда такая-то была: сморщенная, да желтая, да старая?.. Ох, нет, милушка! Красивая была в девках, а замуж вышла — еще краше стала. По шестнадцатому годку замуж-то вышла, так оно было из чего хорошеть-то... В Березовском заводе тогда мы жили, настоящие, значит, березовские были, а в те времена, ух, как строго было... Казенные были[326], а тут начальство сторожит, потому

и с начальства тоже спрашивали. Давно это, милушка, было, тогда еще тебя и в помине-то не завелось, — ну, вот и присылают к нам в Березовск одного начальника, Павла Лександрыча... А как прислали его, народ весьма взвыл, волком взвыл, потому больно строг был Павел-то Лександрыч. Из немцев он; ну, и все требовать зачал, чтобы по закону, а тогдашние-то порядки хуже смерти были... Да и работа эта в Березовске на промыслах была самая проклятущая: золото добывали по шахтам, в земле, милушка, робили, как черви землю-то точили... Тяжелая была работа, ну, а начальство требует, а чуть что — сейчас палками... Нынче уж этого нет, а прежде у нас на промыслах за все палками мужиков колотили. Павел-то Лександрыч больно уж донял тогда весь Березовск: и работою и своими порядками... Пробовали его подкупать, как других начальников, так куда тебе — приступу нет. Просто бедовенная беда, народу-то по приискам тыщи приколотились — все заведовали... И раньше начальство было, и взятки оно брало, сколько хотело, и вообще действовало не по закону, а жилось куда легче, чем

при Павле Лександрыче; а он все по закону делал...

Да вот поди ж ты... и человек он был все-таки, надо сознаться, очень хороший, дай ему, господи, царство небесное! — жалобным голосом вставила старушка. — Давно уж его нет в живности-то... Работой он томил народ больно. Помаялись-помаялись наши мужики, а ведь тогда по-военному все было — везде солдаты стояли, казаки. Ну, старики, которые промеж себя поговорили, посоветовались и вырешили, что надо выручать мир, потому всем петля на шею. Избился народ-то, а Павел-то Лександрыч все нажимает, все нажимает...

А я тогда молода была, совсем глупа, — совершенно другим тоном заговорила старушка, мешая угольки в куреве. — Ну, известно, ничего этого не понимаю... Старики так промеж себя говорят, а нам какое дело? Баб разве спрашивают в этакие дела мешаться? А тут и до меня дошла очередь... Был у меня дедушка, совсем древний старик, под сто годов ему было, и разумом уже начал он мешаться и все больше с ребятишками возился. Вот этот де-

душка и говорит мне: «Матушка, ты бы хоть ягоды продавала либо грибы... Наши бабы таскают к Павлу Лександрычу, и ты бы с ними». «Штой-то, — говорю, — дедушка, учить меня, у меня свой муж есть».

Прошло так малое время, он опять свое, я к мужу. Тот из лица так выступил да и сказал только всего: «Дедушке больше нашего с тобой знать»... Бабенка я в те поры была совсем молодая, бойкая на речах; ну, думаю, коли вы так, буду, мол, ягоды продавать. И точно, наберу круженьку земляники и к Павлу Лександрычу снесу, — он сам любил ягоды покупать у баб. Ну, таким манером покупал у меня ягоды и деньги платил, супротив других баб даже больше платил и все наказывал чаще носить... Гляжу я, стал Павел Лександрыч со мной заговаривать, слово за слово, а сам таково крепко в меня всматривается. Глупое место было: мне бы бежать, а мне это даже приятно было... Ей-богу, от глупости больше!.. Потом зачал он меня пощипывать да заигрывать, а я бросила с ягодами к нему ходить. Дома ничего не говорю, а сама нейду к нему, и конец делу. Только дедушка меня опять дони-

мать стал: ступай да ступай, — ну, я и повинилась ему во всем, как на духу. «Пустое, — говорит. — Надо терпеть, Матренушка...» «А муж?» — говорю. «А што, — говорит, — муж твой означает, коли тут целый мир терпит, может, тыщи народу томятся... а?» И пошел наговаривать, и пошел наговаривать, складно умел таково говорить. Тут уж и я поняла, к чему он речь-то подводит, и даже ужаснулася; ноженьки мои подкосились, свет из глаз... Конечно, по промыслам бабы везде балуются, а в Березовском это даже совсем нипочем, а мне-то стало обидно, што меня свои же в яму толкают. И вскинулась я на дедушку, так с кулаками над ним и хожу: «Ты, такой-сякой, чему меня учишь, а? Как у тебя, старого, язык повернулся?..» А он на меня. «Разве, — говорит, — я тебя из-за денег посылаю, глупая? Ежели, — говорит, — мир так порешил, потому как от Павла Лександрыча житья нет... Мир-то больше нас с тобой. Послужи миру-то, а твоей вины тут никакой не будет». Я реветь, а дедушка смотрел-смотрел на меня, снял рубаху, повернулся спиной и говорит: «Смотри, дитятко, какие у меня узоры-то нарисованы,

да я не ревел, когда миру надо было послужить...» А спина у дедушки вся исполосована белыми рубцами, точно вот обожжена чем, и кости даже знать, где были измочалены палками... Это его палками наказывали, когда он еще в шахте робил и шахту затопил, потому ему тоже от мира наказ такой был. Ему за это за самое пятьсот палок и всыпали... Подневольный народ тогда был, замаяли подземной работой, вот мир и порешил шахту у начальства затопить, а дедушка в штегерях ходил — его и заставили.

Старушка замолчала, с трудом переводя дух. Где-то далеко-далеко, как пушечный выстрел, прокатился глухой раскат грома; над горизонтом выплывало темное грозовое облачко и быстро подвигалось к нам. Зной стоял прежний, но теперь порывами набегал легкий ветерок и качал черемухами и рябинами. Таня проснулась и заплакала.

— Слава тебе, господи... — крестилась старуха, рассматривая катившуюся по небу тучку. — Давно уж земля дождичка просит... травушка-то больно притомилась.

— Что же дальше-то было, бабушка? —

спрашивал я, заинтересованный рассказом.

— Дальше-то? А ничего. Павел-то Лександрыч совсем стишал, точно другой человек сделался... Сначала я ягоды ему все носила, потом грибы, а потом и совсем к нему перешла жить. Вдовец он был, — ну, я и жила у него. До меня он больно добрый человек — одевал, дарил, баловал... А я все делаю, как дедушка учил, все за мир хлопотала. Мужа штегерем сделал Павел-то Лександрыч, родню в люди вывел. Ох-хо-хо!.. А я от хорошей жизни еще краше стала: идешь, бывало, по улице, так чужой народ любуется. Кланяться стали, потому, што хочу, то и делаю — большую силу забрала у Павла Лександрыча. Чудной он какой-то был, прости его, господи... Сначала-то я даже боялась его, а потом привыкла, так привыкла, что и про мужа совсем забыла. Вот она, красота-то, куда завела: мужа не жаль, а Павла Лександрыча жалеть начала, точно вот приросла к нему. Даже какая-то злость на меня нашла: нарочно, бывало, дразню мужа, чтобы он меня колотил, как других баб мужья бьют... А то, бывало, совесть зачнет мучить, ночи не спишь, богу все молишься, —

нет, ничего не берет. Так-то раз мучилась-мучилась да и порешила: брошусь я от этой жизни в шахту, все одно — моченьки моей не стало. Совесть доняла... Похудела, задумываться стала, а дедушка-то все уж примечал за мной, што неладно, мол, што-то с бабой деется. Умственный был старичок... Ну, раз я вечерком и отправилась в лес, думаю, брошусь куда-нибудь в шахту, потому тошнехонько; иду это я болотом, а дедушка мне навстречу, так же вот разную травку собирал. Пользовал он народ травкой... Увидал меня и говорит: «Нехорошее у тебя на уме, внученька...» Я ему опять все и рассказала: реву и рассказываю, а он слушает и тоже плачет. Вот он тогда и добыл из-за пазухи эту самую травку, Петров-Крест, и говорит: «Внученька, вот тебе травка хорошая... пей ее с молитвой, может, господь и поможет, а рук на себя не накладывай. Это травка особенная, крестом в землю растет, божья травка; от наших грехов крест господень в землю ушел». Стала я эту травку пить — и точно, облегчало... В те поры и Павел Лександрыч помер, девочка у меня от него осталась, — ну, я из Березовска уж ушла: тяжело

было на людей глядеть. С дедушкой все жила, он меня и травы научил собирать, и какая в какой траве польза... Дочка-то потом замужем была да померла, а мне вон Танюшку оставила.

— А муж?

— Муж?.. Совсем он свихнулся, водкой зашибал сильно... Давно уж его тоже в живых нет. Ох, грехи, грехи!.. Танюшка, милушка, оболокайся, может, еще поспеем до дождя домой добежать.

Старушка заторопилась, связала свои травы, спрятала какой-то узелок в кусты и, простившись со мной, исчезла в кустах. Я тоже пошел и, взобравшись на каменный утес, долго провожал торопливо уходившую парочку: старуха тащила девочку за руку и скоро скрылась в березовой рощице. Мне с возвышенности видно было все мертвое озеро, тянувшееся верст на пять; направо, из-за соснового леса, выдвигался острый мысик, а за ним бурым пятном виднелась глухая деревушка, где жила старуха. Туча уже висела над головой и совсем закрыла солнце; было душно, недалеко пронеслась со свистом стая уток и пала в бо-

лото. Вот и первые крупные капли дождя застучали с сухим шумом по зелени, вот и глухой шум от надвигавшейся грозы, и молния, и раскатистый, гулкий удар грома, гулко грянувший около самого уха... Я шагал с собакой чрез кусты к лесу, чтобы укрыться от ливня где-нибудь под деревом.

Говорок

(Очерк)

I

Что может быть лучше светлого озера, когда оно летним утром все из края в край курится радужным туманом? В глубине синей стеной поднимаются горы, за которыми спрятались Чудские заводы — старый и новый; направо зеленой каймой подошли камыши и заливные луга, а налево шелковой скатертью уходит из глаз башкирская степь. На выдающемся в озеро мысу мохнатой шапкой стоит сосновый бор, а за лугами зелеными пятнами рассажались березняки. На откосе, где песчаный берег уходит в воду, как осиное гнездо, присела к земле своей сотней из-

бушек деревня Кучки. Летом даже эта деревня красива, точно она сушится на своем откосе, а последние избушки совсем подошли к воде и смотрятся в озеро, как в зеркало.

Ранним утром, на самом берегу, из крайней избушки выходил сгорбленный, худенький мужик Матвей, садился в бот и плыл осматривать выкинутые с вечера снасти. Нужно было перекосить все озеро, обогнуть боровой мыс и попасть в курью[327], где у Матвея из года в год ловилась рыба. С гор всегда дул ветер, и волна шла к деревне, а в курье всегда затишье и вода точно застыла. Проплывая под мысом, Матвей останавливался у арендаторской избушки, где жил карауливший озеро сторож, и говорил:

— Ну, Ильич, за твоей рыбой поехал…

— А мне какая печаль сделалась?.. Твой грех, твой и ответ…

— Ладно, разговаривай да кланяйся арендателю.

— И то скажу: способу с вами нет. Где же мне одному с целой деревней управиться… Вот начальство выедет, так тогда поговорите.

— И поговорим.

— Мотри, Матвей, не миновать тебе острогу...

— А кто в остроге-то сидит, может, получше нас с тобой.

Кривой Ильич обыкновенно уходил в свою избушку, а Матвей плыл дальше. «На-ка, арендатель тоже выискался на озеро! — ворчал он, стоя в боту на нотах и ловко загребая воду одноперым веселком. — Этак и житья не будет: земля господская, вода арендателев...» Матвей промышлял на озере уже тридцать лет, а тут вдруг его озеро в аренду сдали. Еще надо спросить, чье оно, озеро-то. У арендатора, конечно, денег много, да всего деньгами тоже не укупишь. И вся-то штука в том, что помещику покориться неохота, — вот и сдал озеро.

— Нет, брат, постой... — вслух говорил Матвей, вынимая из воды разную снасть и выбирая запутавшуюся в ней рыбу. — И земля твоя, и озеро твое — нет, погоди. Жирно будет... Еще покойник родитель на озере-то рыбачил, а тут здорово живешь. Нет, ты еще обожди маненько!..

В Матвее много было задорной энергии,

выливавшейся в вечных спорах и пререканиях то с соседями, то со старостой, а то просто со своей собственной бабой Авдотьей. Особенно доставалось от него волостным. Староста Маркел иначе не называл Матвея, как язвой: «Ишь, наша-то язва зудит». Сборщики податей боялись его, как огня, потому что уж Матюшка подыщется к чему-нибудь, а потом не развяжешься. Когда поверяли волостные суммы и усчитывали старшину, Матвей был впереди всех и, жертвуя собственной работой, «достигал» каждую неустойку. Неугомонный мужичонка, одним словом, сидевший в Кучках, как заноза. Даже выбрать его старшиной или старостой было невозможно: первое — бедный человек, второе — дело у него такое, что оторваться нельзя, а третье — не уладит с начальством. В сельское начальство обыкновенно верстают тех, кто в силе и может постоять за себя, или же в наказание — пусть отдувается перед начальством за все общество, а Матвей не подходил ни под какую линию.

— Матюшка у нас, как кривое полено, — говорил старшина Судыгин, — никак ты его не укладешь.

— Ты у меня учись жить-то, Пал Андроныч, — отвечал Матвей, встряхивая головой. — Ума у меня против всего опчества много — вот главная причина. Все я могу смозговать... да...

Однообщественники в шутку называли его «козьими рогами», которые, по пословице, ни из короба, ни в короб. Матвей Козьи-Рога сделалось уличным прозвищем. Под этой кличкой знала его вся волость, а дома донимала жена:

— Ну, заскулили Козьи-Рога...

Соседки давались диву, как это Авдотья живет с таким мужем: ведь он поедом ест бабу — и стала не там, и пошла не этак, и у других-то все не по-нашему.

— А вот он уплывет в курью, так я будто и передохну без него... — говорила в свое оправдание безответная баба Авдотья. — Ежели бы да он все дома-то сидел — помереть!..

— Что уж и говорить, бабонька: трясучая осина, а не мужик.

Выслушивая эти жалостливые соседские речи, баба Авдотья однажды ответила:

— Да ведь он, Матвей-то, добрый... Так он

кажется только, что все скулит. Я ведь его не больно слушаю...

Вся улица хохотала над Авдотьей: вот так нашла добряка! То-то глупая баба! Матвей такую и подобрал себе, чтобы можно было походя ее долбить, — дерево смолевое, а не баба. Конечно, надо и то сказать, что не пьянчуга он и не озорник — это правда, но все-таки душеньку вымотает одними своими наговорами. А баба Авдотья жила да жила, поглощенная своей бесконечной бабьей работой — и дома, и в поле надо поспеть, и огород и скотину доглядеть, а тут еще что ни год, то ребята. На что эти ребята и родятся, когда в дому непокрытая бедность? Рожали бы одни богатые бабы, им есть кем замениться, а на бедную бабу — чистая напасть с ребятами. Теперь бы вот и с рыбой этой: отстать бы Матвею от озера, а он тягается с арендателем. Конечно, Ахметов — богатеющий человек и затаскает по судам, а Матвей все ему наперекор. Когда помещик сдал Светлое в аренду, другие рыбаки мало-помалу и поотстали, потому где же тягаться с Ахметовым: сегодня кривой Ильич протокол с урядником соста-

вит, завтра к мировому, послезавтра на высидку — тут и рыбе не рад будешь.

Раз летним утром, когда Авдотья, изнемогая от натуги, стирала разное тряпье прямо в озере, с другого конца улицы подошла кучка мужиков. Впереди всех шел Судыгин, плечистый и высокий мужик в красной рубахе, за ним рыжий Маркел и несколько стариков. Когда Авдотья увидела мужиков, у нее сердце так и екнуло от страха перед какой-то неизвестной бедой. Баба была на «тех порах» и едва разогнулась, чтоб поздороваться с мужиками.

— Авдотья, где у тебя Козьи-то Рога? — спрашивал Судыгин ласковым голосом, — богатырь любил баб и теперь с сожалением посмотрел на выпиравший живот Авдотьи.

— А куда ему деться: в избе, поди, валяется... Ночесь только с рыбалки воротился, Пал Андроныч, — ответила Авдотья, немея от страха.

— А ты опять, Авдотьюшка... — еще ласковее сказал Маркел и покачал головой. — Ишь ведь как тебя обмотало всю.

Высыпавшие из избы ребятишки обступи-

ли мать и со страхом глядели на переминавшихся мужиков.

— Эй, Матвей, где ты схоронился? — кричал Маркел, подходя к покривившемуся оконцу. — Выходи-ка, милаш, дело до тебя есть...

В окне показалась голова Матвея и недоверчиво поглядела на обступивших завалинку мужиков. Солнце так и светило во все глаза, а от озера наносило кружившим голову паром. Мужики переминались, не зная, с чего начать. Неестественная ласковость голосов еще более увеличила подозрительность Матвея, и он теперь смотрел в упор на рыжую, окладистую бороду Маркела.

— Насчет озера? — спросил Матвей, стараясь проникнуть в тайный замысел подступившего начальства. — От Ахметова?

Мужики недоверчиво оглянулись на Авдотью: она была лишняя и точно мешала всем своим вздутым животом.

— Входите в избу, — пригласил Матвей, желая сохранить свое достоинство главы дома. — Чего на солнце-то торчать?

Мужики один за другим вошли в избу, стараясь не смотреть на Авдотью, которая прово-

жала их испуганными глазами. Сознавая свое бабье положение, она пересилила себя, и валек громко захлопал по мокрым тряпицам, отдаваясь на озере гулким эхом, точно хлопала по воде крылатая какая-то деревянная птица. О чем будут мужики говорить с Матвеем? Зачем Судыгин и Маркел так ласково разговаривали с ней, Авдотьей? У бедной бабы кружилась голова, и она еще сильнее колотила свое тряпье, точно хотела выбить из него всю свою бедность. Оборванные и чумазые ребятишки окружили ее, как спугнутый охотником выводок, и тоже пугливо озирались на избушку. Самый младший даже попробовал было зареветь, но мать пригрозила ему вальком.

А в избе в это время происходила такая сцена.

— Мы к тебе от опчества, Матвей, — заговорил Маркел, степенно разглаживая бороду. — Значит, послужи миру... Допрежь тебя не просили, а теперь невозможно. Прижимка идет большая от Миловзорова...

— Ну?..

— Так уж ты тово... Опять начальство нае-

дет, учнут деревню драть, так вот старички на сходке и порешили: Матвей у нас за словом в карман не полезет — ему и быть в первой голове.

— А ежели я не хочу? — окрысился Матвей.

— А ежели невозможно? — ответил вопросом Судыгин. — Разве ты один в деревне? Всем не сладко приходится. Раньше Ипат выхаживал, а теперь твой черед... Главная причина: невозможно.

Наступила неловкая пауза. Кто-то широко вздохнул. Судыгин машинально оглядывал голые, закоптелые стены избушки, покосившуюся печь, полати — бедность так и глядела из каждой щели, та жуткая бедность, которую во всем объеме в состоянии оценить только опытный глаз.

— Вот избенку надо выправить... — вслух проговорил Маркел невольную мысль Судыгина. — Как же!.. На то и мир.

— А это как? — спрашивал Матвей, указывая в окно на свою бабу с ребятами.

— Опять же мир есть...

Этим вопросом Матвей себя погубил: в нем

уже слышалась готовность послужить миру. Он испугался не своей смелости, а поспешности. Как же это так вдруг? Ночесь только вернулся человек с рыбалки, в курье на тычках еще сушатся мережи, а тут за здорово живешь... Матвей вдруг почувствовал себя оторванным от своей избушки, точно он уже не Козьи-Рога, а кто-то другой, и этот другой идет на верную погибель. Страшная жалость вдруг охватила сердце Матвея, и он опять глянул в окно на свою бабу, колотившую вальком, и на столпившихся около нее ребятишек.

— Главная причина — никак невозможно... — подхватил Судыгин, стараясь прогнать напавшее на Матвея сомнение.

— Невозможно? — переспросил тот машинально.

— Мир послал... Я бы и сам, да язык-то у меня, как лопата, — поддерживал Судыгин с фальшивой ласковостью. — Разговору во мне нет настоящего.

Этого было достаточно. Главное объявлено, и все загалдели разом. То, что говорилось раньше между строк, теперь пошло напрям-

ки. Старики размахивали руками и не давали говорить друг другу. Маркел вытирал катившийся по широкому лицу пот. Один Матвей сидел на лавке, свесив голову, как приговоренный. В его мозгу стояла одна мысль: «невозможно».

— Съест нас Миловзоров, — повторял Маркел основную мысль. — Теперь вот наше озеро сдал, а там и до земли доберется... Так я говорю?.. Начальство наедет... Опять будут оконницы выставлять, крыши сымать со дворов, печки разворачивать, а наше дело правое. Отцы еще здесь жили, и потом правильный у нас ак... Покойник Ипат и скопню выправил с его, с ака-то. Так я говорю?

Авдотья все колотила вальком, когда мужики один за другим начали выходить из избы. Они шли в том же порядке, как и входили.

— Прощай, Авдотьюшка... — ласково проговорил Маркел, I поравнявшись с ней. — Эк тебя разнесло... а?.. Ты не нагинайся очень-то, милая.

Баба молчала и, тяжело дыша, смотрела на мужиков остановившимися глазами. Она

чувствовала себя такой несчастной, точно ее что придавило. Матвей вышел также за ворота. Он был без шапки, в одной пестрядинной рубахе. Поглядев на свою бабу, на дымившееся под лучами утреннего солнца озеро и на удалявшуюся кучку односельчан, он с подавленным отчаянием махнул рукой; в этом жесте сказалось все, точно он им отмахнулся от всего своего прежнего существования.

Это был великий момент, вроде того, как вода, накопившаяся в таинственных недрах земли, прорывает последнюю преграду и вырывается на божий свет. Судьба Матвея была решена.

II

Чтобы сделать понятным все происходившее в избушке Матвея, мы считаем нужным объяснить историю Кучек.

Происхождение этой деревушки отодвигалось в глубь времен не далее полустолетия. На берегу Светлого озера сначала поставлено было несколько рабочих балаганов, и потом на их месте выросли избы и целый поселок. Делалось все это как-то самой собой, так что даже помещик, на земле которого образова-

лось новое селение, открыл его уже после эмансипации. Администрация была изумлена не менее помещика: откуда, как, почему появились неведомые люди?.. Объяснением такой странности может служить то, что зауральский помещик никогда не бывал в своих владениях, а все дела вершили разные управляющие, доверенные и уполномоченные, как и вообще на Урале. Владелец являлся каким-то мифическим лицом, исчезавшим в неведомых высях, — никто его не видал, кроме управляющего и поверенных. Да и вообще помещичье владение на Урале является каким-то мифом: есть крупные заводовладельцы, захватившие в свои руки десятки миллионов десятин, а помещики прошли сюда как-то бочком. В Загорском уезде из помещичьих земель образовался целый остров, втиснутый между дачей Чудских заводов и башкирской степью. Их было всего до десятка, и самым крупным являлся тот не известный никому Шмит, на даче которого выросли Кучки. Немец Шмит сделался зауральским помещиком совершенно случайно, именно когда женился на дочери отставного генерал-майора

Кереметева и в качестве приданого получил двадцать тысяч десятин земли где-то в неведомых глубинах Зауралья. Генерал-майор Кереметев тоже сделался помещиком по жене и тоже не бывал в своих владениях, как и Шмит, потому что громадное поместье не приносило никакого дохода. Наживались одни управляющие и поверенные. После эмансипации, когда даровой труд отошел в вечность, имение стало приносить даже дефициты, и, кроме того, возникли неожиданные неприятности, вроде открытия неведомой деревни Кучек. Это произошло так: управляющий Миловзоров всучил бывшим крепостным даровой надел, и, когда подошла очередь подписывать уставную грамоту Кучкам, мужики наотрез отказались от всякого надела, потому что считали землю своей. Можно себе представить положение Мило-взорова, желавшего выслужиться пред своим мифическим патроном: под самым носом существовала никому не известная деревня, захватившая до полуторы тысячи десятин лучшей земли! Это уже был скандал, и Миловзоров самолично отправился осматривать открытую

Америку.

— Когда же эти подлецы успели выстроить целую деревню! — удивлялся он, проезжая по Кучкам.

— Мы вашими помещичьими и не бывали, Аркадий Евгеньич, — заявляли с своей стороны кучковские мужики. — Вы сами по себе, мы сами по себе... Мы еще до генерала здесь жили; отцовская у нас земля.

Миловзорова огорчила такая неблагодарность, но он тут же сделал второе открытие: купец Ахметов с незапамятных времен ловит рыбу в Светлом озере безданно и беспошлинно, тогда как озеро принадлежит Шмиту. Мало того, Ахметов вперед знал о прибытии Миловзорова в Кучки и встретил его здесь самолично.

— Ушки откушать милости просим, Аркадий Евгеныч, — приглашал купец, держа на отлет свой картуз. — Первый сорт ушка...

— Послушай, братец, что это такое: озеро мое, а ты тут хозяйничаешь? — озлился Миловзоров, знавший Ахметова по преферансу у протопопа Глаголева.

— Помилуйте-с, Аркадий Евгеныч... как

можно-с! Еще покойный родитель мой озеро-то кортомили[328]...

— Как кортомили?

— А у мужиков-с... в сам-деле, откушайте ушки, Аркадий Евгеныч!..

— Перестань ты, Ахметов, дурака-то валять... Ведь ты отлично знаешь, что земля и озеро мои, а мужики — бунтовщики. А ты заодно с ними: «покойный родитель»... Я вам покажу не только родителя, а и родительницу!..

Конечно, Ахметов обманывал — никакой кортомы он никому не платил, а просто хотел пугнуть Миловзорова. Уверенный тон последнего, однако, поколебал его купеческую сноровку, и Ахметов прибавил:

— Сурьезно бы поговорить с вами, Аркадий Евгеныч... Давно это следовает, да все как-то сумлевался я достигнуть вас. А мужики, точно, изрядно землицы прихватили... целая округа.

Они вместе объехали всю захваченную землю, и Миловзоров не мог надивиться: сотни десятин распаханы, леса вырублены, а на карте имения у него все это место покрыто зе-

леной краской, что, по «объяснению знаков», означало строевой лес. И как это могло случиться?.. А тут шельма Ахметов тоже пристроился и может напакостить. Удивление управляющего перешло всякие границы, когда он самолично убедился, что кучковские мужики действительно никогда и не бывали крепостными Шмита, а набрались сюда со всего Урала — с горных заводов, из других помещичьих имений, с казенных промыслов и т. д. Что же, спрашивается, смотрела администрация? Да-с, администрация, которая должна знать все... Но администрация всегда останавливалась у Миловзорова и пользовалась доставленными им же сведениями. Вот так положение... Если поднять дело, то тот же мифический Шмит скажет: «А где вы, Миловзоров, раньше-то были?» С другой стороны, и администрацию подводить не приходится... Обыкновенным выходом во всех таких недоразумениях было то, что все прорухи и нелады сваливались на предшествовавшего управляющего, а тут под носом карта имения и зеленое поле, означающее строевой лес.

— Вам бы, Аркадий Евгеныч, хошь бы ра-

зок объехать было именье-то... — сожалел Ахметов, хрустя заплывшими пальцами. — В самом деле, объехать бы, то есть раньше бы объехать... В самую бы точку вышло.

— После свадьбы-то всяк тысяцкий... Черт его знал, что тут целая деревня стоит! Не сам же я ее выстроил... Ну, положение!

Нужно отдать справедливость, что Миловзоров горячо принялся за дело, выкупая свою прежнюю небрежность. Он открыл еще две спорных межи в имении: одну с Чудскими заводами, другую с башкирами. Но это были пустяки. Бельмом на глазу у него сидела самовольная и самозванная деревня, врезавшаяся в центр имения. Нужно было повести дело умненько, исподволь, посоветовавшись с знающими людьми. На поверку оказалось, что кучковские мужики тоже хлопочут в Загорье и как раз подведут какую-нибудь каверзу, а впереди новые суды.

— Вот что, Ахметов: ты будешь моим арендатором на озеро, — заявил Миловзоров после таинственных совещаний с нужными людьми, — и напишем так условие: «По примеру прошлых лет, я, нижеподписавшийся,

арендую Светлое озеро у штабс-капитана Шмита на следующих условиях»... Понял?

— Понимаем-с... Только я, Аркадий Евгеныч, рыбную часть брошу. Ей-богу-с... Хлопотливое дело, а мы тут сгоношим заводишко винный. Это будет не в пример способнее. А озер-то по Зауралью, слава богу, весьма достаточно.

Пришлось уламывать прожженного человека и ему же платить за аренду, да еще на свой счет содержать на озере сторожа: все это устраивалось, чтобы прервать «течение земской давности»[329]. Вообще, стоило громадных усилий, чтобы всему делу придать известное положение и ввести его в оглобли до новых судов. Миловзоров лез из кожи, потому что защищал в этом деле самого себя. Кучки тоже не дремали. Мужики собрали денег, послали ходоков, и каша заварилась. На сцену появился какой-то таинственный «ак», по которому захваченная земля оказалась родовой собственностью не менее мифических Иванов и Сидоров, чем генерал Кереметев и штабс-капитан Шмит. Реальная деревня Кучки вступила в отчаянную борьбу с мифиче-

ским помещиком, земную тень которого составлял Миловзоров. Неопытные в кляузах и юридических тонкостях мужики положились главным образом на свой «ак», что было на руку Миловзорову: беспрепятственное владение землей в течение тридцати лет стушевывалось. Явилась на место действия администрация, явились сопротивление властям, протоколы, предварительная высидка ходоков — одним словом, дело пошло вперед полным ходом. Миловзоров торжествовал, пользуясь оплошностью противной стороны.

В этой стадии дела самым тяжелым для Кучек было то, что в одно прекрасное утро явилась власть и потребовала очистить место. Кучковцы оказали отчаянное сопротивление, ухватившись за родное пепелище с энергией утопающего человека. Собственно говоря, сопротивление выражалось в самой пассивной форме — в нежелании оставлять насиженное место. С своей стороны, власть тоже употребляла кроткие меры: разбирала крыши, выставляла окна, ломала печи в избах и водворяла на место жительства самовольных поселыщиков. Кучки представляли самую жал-

кую картину разрушения: мужики разбежались, а оставались одни ревевшие бабы с ребятами да ополоумевшая от разора скотина. Но стоило начальству отвернуться, как «выдворенные» являлись на старое место, и Кучки быстро реставрировались. Жертвой этого разгрома явился знаменитый ходок Ипат, забранный властью в качестве вещественного доказательства. Нужно ухватить видимую причину беспорядков, живое доказательство затраченной энергии, — и ходок пошел по обычным в таких случаях мытарствам.

— Наше дело правое... — твердил Ипат везде. — Вся прижимка от Аркадия Евгеныча. Еще родители жили...

За энергичную деятельность и усердие Миловзоров получил «отличную благодарность» и праздновал полную победу. Но пораженного по всем пунктам неприятеля нужно было еще взять, а тут новый губернатор, новые суды и вообще усложняющие дело обстоятельства. Земские налоги подорвали окончательно экономическую правоспособность мифического зауральского помещика, и он очутился в разряде неплательщиков. Земля лежала

совершенно непроизводительно; выпущенные на даровой надел крестьяне бедствовали, и единственной доходной статьей являлся недействовавший винокуренный завод, выстроенный Миловзоровым с единственной целью получить отступное с Ахметова и К°. Легендарный «ак» выплыл с новой силой и пошел гулять по новым судам, а Миловзоров донимал врага мелкими исками о самовольных порубках, потравах и т. д. Эта партизанская война оказалась для Кучек горше недавнего одоления, потому что в самую горячую рабочую пору вырывала сотни поденщин и штрафы. Нашелся какой-то адвокат, который взялся вести дело кучковских мужиков, и этот процесс тянул из них жилы. Нужно было много стойкости и веры в свою правоту, чтобы выдерживать такую неравную борьбу. В решительный момент, когда нужно было отправляться в город, дело остановилось за ходоком. Старый Ипат, ходивший по делу лет двадцать и обтерпевшийся в своих мытарствах, умер года три тому назад. Он едва дотащился до родного пепелища, больной неопределенной мужицкой болезнью, когда человек

«весь неможет», и умер через два дня. В нем Кучки потеряли неутомимого заступника и радетеля, который безропотно шел всюду, куда было нужно. Никто в Кучках не удивлялся подвигу этого Ипата, как и он сам: так было нужно. Если бы Ипат не пошел, за него пошел бы другой, а не другой, так третий. Есть вещи и положения сильнее каждой отдельной личности. Именно в таком положении очутился Матвей Козьи-Рога в то роковое утро, когда к нему явилась депутация односельчан.

— Надо собираться... — коротко и глухо проговорил он жене, не объясняя, куда и зачем собираться.

По своей бабьей приниженности Авдотья не спросила его, куда он уходит и по какому делу. Она только чуяла своим бабьим сердцем какую-то неминучую беду, надвинувшуюся вдруг. Сборы Матвея были недолгие: новые штаны и рубаха, старый зипун да котомка — и весь тут. Обряжая мужа во все лучшее, точно она готовила его к принятию какого-то таинства, Авдотья не плакала, не жаловалась и не стонала: так нужно... Она это чувствовала, простая деревенская баба: дешевым ба-

бьим слезам еще будет время, а теперь нужно думать о другом. Безответность и бабья покорность Авдотьи тронули Матвея больше всяких слез и причитаний. Эх, славная баба эта Авдотья, да и ребятишек жаль, ну, да ничего не поделаешь!

— Ну, даст бог, вернусь... — хмуро проговорил Матвей жене на прощание. — Мотри, соблюдай ребятенок, а ежели коли что... ну, к Пал Андронычу в правую ногу: не оставит.

Авдотья убежала в избу, чтобы спрятать свои непрошеные слезы, а Матвей опять махнул рукой и зашагал к избе Маркел а, где его ждали волостные старики с последними советами и наставлениями. А через час он уже шагал по проселку к городскому тракту, помахивая длинной палкой, с какими по всей Руси расхаживают странники, богомольны, нищие и всякие другие божьи люди. Выйдя за околицу, Матвей остановился, поглядел на Светлое озеро, на свою деревушку, отыскал глазами знакомую крышу и еще раз удивился: третьего дня он вон там в курье выметывал мережи, а сегодня идет куда-то в неведомую даль.

— Никак невозможно!.. — вслух прогово-

рил он и зашагал с усиленной скоростью, точно хотел уйти от схвативших за сердце дум.

III

Прошло лето, прошла осень, зима, а о Матвее ни слуху ни духу. Как в воду канул! Авдотья несколько раз «посыкалась» добиться от односельчан, куда задевался муж, но старички только мычали, чесали в затылках и бормотали что-то совсем несообразное, — надо же было как-нибудь отвязаться от пристававшей с ножом к горлу бабенки. Правда, помощью ее не оставляли — то хлебом, то деньгами, то дровами. Но это была обязательная помощь, которую Авдотья принимала только в крайнем случае.

— Ежели тебе что надо будет, Авдотьюшка, так ты только мигани... — повторял каждый раз Маркел. — Обязанность свою весьма даже чувствуем.

— Есть у меня все, слава богу..

Ну, то-то. Мотри, соблюдай ребятенок, чтобы, значит, Матвей на нас опосля не судачил.

Авдотья низко кланялась и уходила в свою мурью[330]. Пользоваться мирской помощью она вообще стеснялась. Матвей — гордый че-

ловек, не любил кланяться. Вот по соседству — другое дело: кто молочка ребятам принесет, кто дровец приволокёт, кто что — все же свои люди. Раз, зимой, в самый лютый мороз, притащился с курьи кривой Ильич и привез с собой целый мешок рыбы.

— Это я тебе гостинец... — довольно сурово проговорил сторож, смущенный собственной нежностью. — Ребята-то привыкли к рыбе, когда отец был.

— А как я с тобой рассчитываться буду... — смутилась, в свою очередь, Авдотья.

— Да никак... Не стало ее, что ли, в озере, рыбы-то! Слава богу, вполне даже достаточно... Мы хоть и вздорили с Матвеем, а рыба тут не виновата. Я как, значит, обвязался Ахметову, ну, а он опять отступаться не хотел... Да и то сказать: свет я увидал без Матвея-то. Лежу себе в избушке и знать ничего не хочу. Помещик — помещикам... А то Матвей-то все у меня, как бельмо на глазу, сидел. Грешным делом, дирались мы с ним не однова...

Этот подарок заставил Авдотью прореветь целую ночь. Первый враг Матвея, и тот помянул его добрым словом, точно покойника... Да

и рыба напомнила ей про мужа. Где-то он теперь, Матвей?.. Уж жив ли, а не то сидит где-нибудь за семью замками. Ребятишки малешеньки, несмысленны, а и те нет-нет да и припомнят тятьку.

Кривой Ильич действительно был доволен больше всех невольным отсутствием Матвея, хотя это слишком эгоистическое чувство и претило ему. Нехорошо радоваться чужому безвременью. Конечно, Матвей пошел своей волей, ну, а все-таки не за себя пошел, а за мир. Странный был этот Ильич, с детства живший в лесу. Он служил на соймах[331] у арендаторов, лесником, сторожем, и совсем свыкся с лесной тишью. Несоразмерно длинная, сгорбленная спина, кривые, короткие ноги, длинные руки и лохматая голова делали его похожим на медведя. Зиму и лето Ильич ходил без шапки Такой уж родился несообразный человек: в лесу ему и жить. Избушка, поставленная на мысу, была поставлена, как казалось, на живую нитку, но в ней было тепло, а это — главное. Сбитая из глины, широкая русская печь держала в себе жар по неделе. Всю жизнь Ильич провел бобылем, а под ста-

рость, чтобы не скучно было, обзавелся петушком и курочкой. Прежде спал Ильич, как убитый: стемнело — лег, забрезжилось — встал. Какая ночь, такой и сон, а под старость не стало прежнего сна: то ноги заноют, то поясницу ломит. Ворочается, ворочается Ильич на своей печке, а кругом темь стоит, хоть глаз выколи. Вот и завел старик петушка с молодкой, потому все-таки ночью петушок вспоет, и сторож знает, какой час на дворе. По весне накладёт курочка яичек, выведет гнездо, и пойдет у Ильича настоящее хозяйство. Петушок с молодкой жили под печкой. Была еще у Ильича собака Белка, такая же лохматая и кривоногая, как хозяин; у нее даже и глаз был кривой, тоже как у хозяина. Славная прежде была собака, а теперь годы ушли — лежит себе под лавкой день и ночь и чуть брехает на волков или когда бродяжки подойдут к избушке. В подполье проживали ужи. Свистнет Ильич, и поползут молоко пить.

По своему общественному положению Ильич был озерной сторож, а в действительности он проживал так, изо дня в день. Жалованья ему никто не платил, хотя и была ряда

с Ахметовым. Разбогател, раздулся Ахметов и слышать ничего не хочет о жалованье. Придет к нему Ильич в Чудской завод и начнет просить хлеба, а купец примется ругаться:

— Какой тебе хлеб, старому черту? Задарма проедаешься на озере... Рыбу я не ловлю. Ступай, выправляй жалованье с Миловзорова...

— Ты арендатель-то, с тобой ряда была... Вот лопать[332] обносилась, сапоги развалились, то-се... И то кучковские мужики посыпались осенью убить, зачем рыбу препятствую ловить.

— Бродяг хлебом кормишь, старый черт! — ругается Ахметов.

Ильич смолчал: было дело. Да и как не дать бродяжке, когда хуже волка человек придет. Ахметов все знает, прожженная душа... Но сколько ни ругается, а все-таки велит отпустить муки, заваляющие сапоги выкинет, одежонку и еще раз обругает. Вот и все жалованье. Пробовал Ильич толкнуться к Миловзорову, но тот так затопал на него ногами, так заорал и еще хотел в кутузку посадить — хуже собаки. Уйти с озера Ильичу было неку-

да: крестьянская работа не под силу, да и привык он к своему лесному житью. Сам большой, сам меньшой в избушке своей. Конечно, зимой скучно бывает, а пройдет зима, и точно праздник какой откроется. Вспухнет и надуется лед на озере, по лесу пойдут проталинки, выступит вода в низких местах, нальется почка, а потом, когда вскроется лед, пролетит птица. Много её летит по весне с полудня и, стая за стаей, отдыхает на Светлом озере. Гуси, лебеди, утки, чайки — стоном стон стоит на воде. Много озер по Зауралью, и весной везде тьма-тьмущая дикой божьей птицы; заходит рыба в воде, начнет икру метать по затонам и мелким речонкам, а в ясные дни по озеру гул идет: рыба мечется. А тут уж первые цветики пошли по лесу, зазеленела травка, пахарь выехал в поле... Все это видит Ильич — видит и радуется, и славит бога: у бога всего много.

Лежал таким образом! Ильич весенней ночью в своей избушке и совсем начал засыпать, как Белка ни с того ни с сего заворчала и брехнула.

— Цыц ты, кривая ерёхта[333]! — обругал

ее вслух Ильич. Собака повиляла хвостом и опять брехнула. По лаю Ильич знал, что к избушке человек подходит. Кому бы быть о такую пору? Бродяжки идут по осени — разве заблудился кто? Слез Ильич с печи, вышел из избушки — действительно человек подходит и палочкой помахивает. Выскочила Белка и бросилась навстречу.

— Кто, крещеный? — спросил Ильич, разглядывая темную человеческую фигуру.

— Так, заплутался...

— Ты бы подальше плутал-то, а то возьму орясину...

— Буде, Ильич... ну тебя.

Голос знакомый, и Белка унялась. Только хвостом виляет, тварь — узнала кого-то, подлая.

— Не угадал, что ли? — спрашивает знакомый голос. — Матвей из Кучек.

— Нно-о?!..

Ильич вдруг чего-то испугался и бросился в избу вздувать огня. Матвей вошел за ним, перекрестился в передний угол, сел на лавку к столу и молчит, а Ильич стоит с зажженной лучиной и смотрит на него.

— Откедова путь держишь, Матвей? — спросил наконец старик.

— Издалече будет... Отсюда не видать.

— Пошто мимо деревню-то свою обошел?

— А не рука мне... По волчьему паспорту, значит. Убег я из острогу... К озеру потянуло — вот и пришел поглядеть. Ох, моченьки моей не стало... тошнехонько!

— Ах, Матвей, Матвей...

— Ну ладно. Ежели опасаешься — уйду.

— Да куда уйдешь-то, голова с мозгом?

— А в лес... Небось, места в лесу всем хватит.

— Да ты, поди, поесть хочешь?..

— А не знаю... два дня не едал, пожалуй, отвык. Ну, что Авдотья моя?..

— Ничего, живет... Славная баба.

Поел Матвей и сейчас же заснул, точно его гвоздями приколотили к лавке, а Ильич проворочался до самого света. Вот так гостя господь послал... Да не надумал ли чего Козьи-Рога?.. Пока бродяга спал, Ильич осмотрел снасти и навез рыбы. А Матвей уж встал и смотрит на него с берега, как он в боту по камышам ездит.

— Вот что, Ильич, спасибо тебе на добром слове, а я того... — заговорил Матвей, глядя в сторону. — Не хочу тебя под ответ подводить. Еще начальство присыкнется к тебе, того гляди...

— Перестань... Места не просидишь, а там и уйдешь, когда следовает.

Одежонка на Матвее была плохонькая, на ногах лапти, да и сам он сильно исхудал, пожелтел, оброс диким волосом и поседел. Долго, видно, сердяга, в остроге высидел. Напоил его, накормил Ильич, а спросить про дело не смеет: как бы не обидеть человека. Как раз по напруженному месту попадешь... Матвей ничего не говорил до вечера, а потом уже все обсказал.

— Доходил до самого... — глухо начал он. — До Шмита до этого... В Питере был. Агромаднеющий город...

— Ишь ты, куды махнул!

— Было дело... Сперва-то я в Загорье выправлял дело. Ну, вижу, пользы мало: тот одно скажет, другой — другое... Путают, а дело наше правильное. Ну, я в Питер. Достиг и самого Шмита... Думаю, человек ведь тоже, по-

жалеет. Целую деревню зорят, а ему что: плюнуть! Все одно земля-то так же пустеет, а вся прижимка от Миловзорова. Ну, и достиг...

— И обсказал?

— Все, как на ладонке выложил... Разве это порядок: у Чудских заводов пятьсот тыщ земли пустует, в орде, может, не один мильонт ее тоже задарма лежит, а тут еще двадцать тыщ у Шмита и тоже зря — Миловзоров, мол, зайцев гоняет. Выискалась, мол, всего-навсего одна деревнюшка, произошла она горбом, опахалась, обсеялась — ну, зачем зорить?.. В жалость хотел его привести: бабы, говорю, ребятенки мллые... Разор, говорю, и вам и нам, ежели мы будем еще дальше тягаться. Все ничего, выслушал, а как я помянул про ак... ну, по этапу меня и предоставили в Загорье, а там в острог. В остроге-то, как своего, приняли: «говорка привели», — кричат рестанты. Конечно, ихнее дело привычное, как присмотрелись, значит, они ко всякому народу и всех ходоков говорками зовут. Цельную зиму я высидел, а как подошла весна, как ударила оттепель, — ну, не вытерпел... Всего-то оставалось с месяц досидеть. Тошно стало... чуть

рук на себя не наложил...

— Досидел бы лучше, Матвей.

— А ежели тошно мне?..

Матвей поселился опять в своей курье, тщательно избегая всякой встречи с односельчанами. Два раза ночью он на боту переплывал озеро, обходил свою избушку, но войти в нее не смел: Авдотья испугается и перебудит ребят. Одна собака Жучка узнала хозяина и подползла к нему, из покорности, на брюхе. Раньше Матвей совсем не замечал эту собачонку, которую щенком притащили откуда-то ребятишки, а теперь он обласкал ее со слезами на глазах, как родного человека. Во второй раз собака уже дожидалась его на берегу и бросилась под ноги с радостным визгом. У него захватило дух от прилива нежных чувств, но и на этот раз он не решился войти в избу. Увидал он жену только в следующий раз, когда она выглянула в окошко, чтобы посмотреть, кто это бродит около избы.

— Зачем ты ушел без спросу? — повторяла Авдотья в сотый раз и ломала в отчаянии руки, — Засудят тебя... ох, горемычная моя головушка, пропали мы все!

— А ты молчи и никому виду не подавай... Лошадка-то в поле, видно?..

— В ночное угнали... Телочку без тебя принесла Пестрянка... ярочку одну волк зарезал... у Марфушки огневица зимой прикинулась... Матвеюшка, родимый, поди ты по начальству и объявись — может, лучше будет.

Матвей молчал, как пришибленный. Раньше было тяжело, а теперь вдвое. Приходилось скрываться от людей, как лесному зверю. Эх, если бы не жена да не ребятишки, ушел бы на Кукань, где земля вольная и паспортов не спрашивают, — все равно пропадать! Сидя в остроге, он произошел в тонкости всю острожную географию. Но другим было все равно, куда ни идти, а его неудержимо тянуло домой, к Светлому озеру.

Почти каждую ночь стал ездить Матвей к жене, надрывая свою и ее душу. Он теперь уже знал все, что делалось в Кучках. Односельчане не оставляли своих хлопот, и вместо него ходоком ушел брат рыжего старосты Маркела. Нельзя, нужно идти... А Миловзоров грозился пуще прежнего и обещает разметать все избы по бревнышку, так что крестьяне

прозвали его Мамаем. В случае чего кучковцы грозились прогнать его кольями из деревни. Дело принимало скверный оборот., — За что же это напасть такая? — удивлялся Матвей, беседуя по вечерам с Ильичом у огонька. — Ведь живут же другие люди на белом свете... Кругом такая тьма земли, а нам места нет. Найдем же и мы правду...

На себя Матвей смотрел, как на обреченного, и не рассуждал, зачем и почему: *так нужно!* Но его удивляла бессмыслица окружающей обстановки. Земли пустуют на сотни верст, а их гонят от своей работы. Неужели один Миловзоров на свете будет жить?

Однажды, когда Матвей сидел таким образом с Ильичом у огонька, его схватили.

— Хоть бы до осени дали погулять... — простонал говорок, не пытаясь сопротивляться. — Ильича-то не троньте. Мой грех — мой и ответ.

IV

Возвращенный в тюрьму, Матвей как-то совсем потерялся, замолк и начал сторониться от других. Любимым его местом было окно — встанет и смотрит сквозь железный пе-

реплет на клочок неба, а сам шепчет: «Эх, до осени бы!» Его душу охватывала смертная тоска. Ночами являлся бред Матвей вскакивал, оглядывал окружающую его тьму и тихо-тихо плакал. Каждую ночь, как желанный гость, к нему приходил все один и тот же сон: он видел свое Светлое озеро, Кучки, курью, где тридцать лет ловил рыбу, свою избушку, балаган Ильича. Недалекое прошлое заволакивалось для него таким радужным туманам. Днем иногда перед ним с такой яркостью вставала какая-нибудь своя деревенская забота, что он несколько времени совсем не видел окружающего.

— Эй, говорок, очумел!

Арестанты от нечего делать часто потешались над Матвеем с его неумолкавшей тоской по родине и ждали, когда он опять уйдет. Такие молчаливые и скромные арестанты для тюремного начальства были чистым наказанием: за ними приходилось смотреть в десять глаз. И сам Матвей отлично знал, что он уйдет, и выжидал свое время. Острожные юристы вперед объяснили, что его ожидает: за «бунт» его сошлют на поселение, а за побег не

миновать каторги.

— Кому что господь пошлет, — повторял Матвей, выслушивая острожных правоведов, — так, значит, нужно.

Покорность судьбе, с одной стороны, и сознание необходимости сделанного — с другой, страшным образом уживались в душе Матвея, разделяя общественного человека от личности. Общественный человек безропотно делал то, что было нужно, а «только Матвей» думал о своем. Что-то теперь делает Авдотья?... Вытянулась бабенка на работе, а подмоги никакой.

Теперь и однообщественники как-то помогать ей будут, если он от себя попал в острог. Ах, нехорошо! Тоже вот и кривой Ильич был на совести у Матвея: подвел он мужика ни за грош.

Иногда Матвею начинало казаться, что Авдотья точно умерла, и он припоминал всю свою жизнь. Побил ее как-то пьяный, потом всегда так грубо обращался с ней, как с домашней скотиной, — нет, хуже, чем со скотиной. В душе Матвея накипали те ласковые и душевные слова, каких он не выговорил бы

вслух при Авдотье. Истомилась, поди, сердечная, а он сидит, как птица в клетке.

Суд приговорил Матвея на поселение. Он выслушал приговор совершенно бесстрастно и только ждал, когда его отправят.

С дороги Матвей бежал и долго скрывался вместе с другими бродягами, но к весне следующего года был опять на Светлом озере. На этот раз он был осторожнее и далеко обходил пустовавшую избушку кривого Ильича, который за пристанодержательство отсиживал где-то в тюрьме. Матвей скрывался больше на Урале, на даче Чудских заводов, где на сотню верст шубой стоял лес. Только временами он появлялся в Кучках, чтобы повидаться с женой. Авдотья как ни любила мужа, но боялась этих посещений, как огня.

— Матвеюшка, пымают тебя... — жалилась она каждый раз.

— Не пымают... Мы тоже достаточно учены.

— А как попадешь?..

На заморозках Матвея действительно поймали. Его накрыли в его собственной избушке, где он заночевал. За лето он совсем одичал

в лесу и смотрел волком, но сопротивления не оказал.

— По весне опять жди... — успел он шепнуть жене. — Теперь мы знаем все ходы и выходы.

А в Кучках было не до Матвея. Дело принимало самый острый характер. Зимой у Миловзорова сожгли молотягу и несколько скирдов хлеба. Обещали поджечь и дом в самом имении. На сцену выступало глухое чувство общего отпора. Заговорила упрямая сибирская складка характера. Появившееся на место действия начальство было встречено глухим молчанием. Возникло крупное дело о сопротивлении власти, но кучковцы твердо стояли на своем:. Все юридические права мифического помещика оказывались бессильными пред реальной и живой силой. Новый губернатор выехал расследовать дело на месте и долго толковал мужикам, что они не правы и что их выселят силой. Кучковцы продолжали стоять на своем.

— Родители наши жили здесь, и мы здесь же помрем... — гудела толпа.

Миловзоров струсил и бросил место. Он

нажил кругленький капитальчик и уехал отдыхать от понесенных трудов на благословенный юг, где у него было приобретено свое имение и где совсем нет таких упрямых сибирских мужиков. Новый управляющий, хотевший уладить дело миром, не ужился на месте. Кучковцы продолжали стоять на своем. Оказался в бегах и другой ходок, заступивший место Матвея. И его так же тянуло с неудержимой силой к своему месту, и так же безропотно он переносил свою участь.

Авдотья по-прежнему жила в своей развалившейся избушке и с бабьим терпением ждала, когда поднимет на ноги старшего сына. Она сама пахала и боронила, сама косила и кое-как сводила концы с концами. Всякое горе притупляется, и Авдотья покорно вытягивала свою непосильную ношу. Было у нее свое «нужно»... Общественники иногда помогали ей по старой памяти, но она крепилась и сама не напрашивалась на помощь.

За второй побег Матвей был приговорен к каторге, и о нем не было ни слуху, ни духу около двух лет. Но через два года он появился опять в Кучках. В деревне все было по-старо-

му, и по-старому шла бесконечная тяжба с мифическим помещиком. Сам Шмит умер, и на его место выступили наследники. Имение не приносило доходов, и поэтому не было даже управляющего. Дело с кучковскими мужиками на время замолкло: обе стороны настолько обессилели, что требовалось перемирие. Бродя по лесу, Матвей встретился с братом Маркела, заступившим его место. Вдвоем все-таки было веселее. Они никого не трогали и летом перебивались по покосным избушкам. Односельчане при встречах делали вид, что не узнают их, и давали хлеба, как всем бродяжкам. На покосе Матвей видал и свою жену, которая страдовала недалеко от озера.

— Докуда же это будет, Матвей? — спросила она однажды мужа, бессильно опуская руки. — Ведь вся душенька моя изболела... тошнехонько на белый свет глядеть, а ты тут надрываешь меня... ох, спобедная моя головушка!..

Еще первый раз безответная Авдотья взъелась на судьбу. Матвей молчал, придавленный безвыходностью собственного положения. Кому какое зло он сделал?.. Ропот Ав-

дотьи даже как-то облегчил его... Сколько лет молчала безответная баба, а теперь сказала скорое слово и сейчас же раскаялась в нем. Чем Матвей-то виноват, что так все вышло?

— Будет правда, Авдотья, погоди... — бормотал Матвей, схваченный за сердце словами жены. — Не мы одни с тобой на свете живем. Говорю тебе: погоди... Выйдет земля хоть детям.

Свои места, к которым так неудержимо тяготела душа Матвея, казались ему теперь постылыми. Сколько он перенес из-за них, а что толку?.. Лежит Матвей в лесу у ключика и думает. Около курится в ямке бродяжнический огонек, где-то насвистывает птичка... Тошно Матвею, словно он умирает. Сколько места исхожено, сколько горя перенесено, а легче все нет. Ушел бы он туда, куда ворон костей не заносит, да только не уйти ему от своего Светлого озера — прирос он к нему всей душой. Много земли кругом пустует, исходил ее Матвей и все думает, все думает... Сколько народу тут жило бы, если бы все шло по-божески, по правде! Иногда ему начинало казаться, что он сходит с ума или видит все во сне.

Опять его поймают, опять будут судить и опять в каторгу — теперь уж без срока. А может, и так господь пронесет: мало ли по лесам да разным трущобам народу скрывается.

Однако Матвею недолго пришлось гулять на своей зольной воле. Наступали первые заморозки. Он жестоко простудился и долго пролежал в лесу без всякой помощи, как лежит раненый зверь. Поправившись, он побрел прямо в Кучки.

— Предоставьте меня по начальству... — просил он, как милости, — Больше мочи моей не стало.

Его опять судили. Когда подсудимому предоставлено было последнее слово, он, едва держась на ногах, проговорил:

— Господа присяжные, за что?..

Авдотья сидела в публике и тихо плакала.

Комбинация

I

Дети ужасно шумели, как они умеют шуметь только в больших семьях, где на них никто не обращает внимания. Тут были представители всевозможных возрастов обоего пола, начиная с младенца, едва перебиравшегося от одного стула до другого, и кончая взрослыми гимназистами. По утрам половина была занята делом: большие уходили в гимназию, подростки занимались в классной, а мелкая детвора сбивалась в детской, около старухи-няньки. Зато вечером начинался целый ад, особенно когда к Катеньке приходил «жених»... Невинное детство было изобретательно и умело отравить Катеньке каждый шаг.

Сегодня было, как вчера, как третьего дня — как всегда. Когда жених, учитель латинского языка Владимир Евгеньевич Кекин, явился вечером со своим дежурством к невесте, Катенька встретила его в передней с красными пятнами на лице. Жених приписал это радостному волнению, которое вызвано

было его присутствием. Он даже поцеловал руку у девушки и задержал ее в своей холодной и потной руке.

— Вы взволнованы, Екатерина Васильевна? — спрашивал он, глядя на нее через золотые очки, отпотевшие на морозе.

— Нет... так...

Катенька вспыхнула до ушей и потупилась, что привело Кекина в восторг: этакая миленькая барышня... Он даже причмокнул и посмотрел на ее статную фигуру с чувством собственности. А девушка в это время была как на иголках: за спиной у ней, за косяками у дверей шушукала и хихикала целая толпа маленьких мучителей. Дети ждали, как праздника, появления жениха и тешились смущением Катеньки.

Здравствуйте, Владимир Евгеньич! — приветствовала эта маленькая орда, когда Кекин вошел в гостиную.

— А, здравствуйте, милые дети, — протянул он, щуря близорукие глаза.

Когда он из зала проходил в гостиную, вслед ему донесся петушиный бас одного из гимназистов: «Комбинация!». Это была его

классная кличка в гимназии, потому что Кекин к месту и не к месту употреблял это полюбившееся ему почему-то словечко. Катенька еще больше покраснела, точно это крикнула она сама, а не эти сорванцы. Как она сейчас ненавидела и эту голубую гостиную, и Кекина, и самое себя, и тот вечер пытки, который ей предстояло вынести с глазу на глаз с женихом! Отвратительного, впрочем, в женихе ничего не было, а скорее, это был видный мужчина лет тридцати, плотный и здоровый, с большим лицом, крупным носом, большими руками и тяжелой походкой. Правда, в выражении его свежего лица было что-то неподвижное, точно он раз застыл да так и не мог оттаять, но с этим маленьким недостатком положительно можно было помириться ввиду остальных наружных достоинств. Конечно, рядом с ним Катенька являлась, может быть, слишком эффектной — среднего роста, грациозная, гибкая, с задумчивой красотой типичного русского лица. Мягкий шелк русых, слегка вившихся волос эффектно оттенял белизну кожи, а из серых лучистых глаз ласково и призывно глядели ее восемнадцать

лет. Маленьким противоречием являлся только серьезно сложенный рот, говоривший о том, что старит человека прежде времени.

Кекин был влюблен в Катеньку, влюблен, конечно, настолько, насколько позволяла ему его солидность и общественное положение. Он теперь еще раз обвел девушку таким взглядом, точно делал ей экзамен, и остался доволен. Как, однако, она изменилась с тех пор, как он ее знал еще гимназисткой: женщина развертывалась на его глазах. При вечернем освещении она казалась ему всегда лучше, чем днем, как было и теперь, — голубая гостиная освещалась всего одной лампой под розовым абажуром, и на всем лежали такие мягкие, ласкающие тени. Конечно, в этой гостиной всегда царил страшный беспорядок благодаря детям; но Кекину нравился даже он, этот беспорядок, на фоне которого еще рельефнее выступала девичья красота, и притом являлась невольная мысль о другой маленькой гостиной, где будет и тепло, и светло, и уютно, как в гнездышке.

— Отчего вы сели так далеко? — спрашивал Кекин, стараясь говорить ласково.

— Мне все равно... я могу подвинуться.

— То есть как все равно?.. Тогда лучше я подвинусь. Знаете, есть такой анекдот про Магомета. Да, именно про Магомета... Однажды он сказал своим последователям: «Дети мои, видите вон ту гору, — я скажу ей, и она подойдет ко мне...» Тогда один из родственников шепнул ему на ухо: «Учитель, а если она не подойдет?» Магомет улыбнулся и ответил: «Тогда я подойду к ней...» Так и я, Екатерина Васильевна.

Довольный своим анекдотом, Кекин первый засмеялся, а в зале послышалось сдержанное детское хихиканье: у самых дверей кто-то подслушивал. Но слишком счастливый Кекин ничего не хотел замечать и даже потянулся своей большой рукой, чтобы обнять оглянувшуюся к дверям девушку, — она всегда так мило и наивно сопротивлялась его ласкам, возбуждая в нем желание обнять ее еще раз и еще.

— Я думаю, что нам сегодня всего лучше докончить наш вчерашний разговор, — заговорил Кекин, спохватившись, что очень уж разнежился; тон голоса у него был совсем дру-

гой, каким он в классе читал Овидия, и глаза посмотрели так тускло, как у замороженной рыбы.

«Началось...» — в ужасе подумала Катенька, стараясь сделать внимательное лицо.

— Да... между людьми, которые сходятся на всю жизнь, не должно оставаться ничего недосказанного, неопределенного. И я лично считаю своим долгом... да, долгом, вернее сказать — обязанностью, выяснить свои взгляды на жизнь вообще и на женщину в частности.

Ему самому понравилась закругленность фразы, и он посмотрел на Катеньку, какое впечатление на нее произвела она. Но девушка рассеянно смотрела в потолок, по которому бродили колебавшиеся пятна света.

— Прежде всего женщина — человек... — тянул Кекин, ерзая рукой по спинке дивана. — Эго уж целая идея... В женщине я прежде всего уважаю именно человека, как уважаю сам себя. Это не прихоть, не игрушка... одним словом, получается целая комбинация!

В зале опять послышался смех и шептание. Затем невидимые руки вытолкнули в гости-

ную девочку лет восьми. Она неловко присела у дверей, делая гостю реверанс, и потом бегом бросилась в следующую комнату, закрыв рот рукою.

Начиналось представление... Катенька быстро поднялась и вышла в зал, где около рояля стояли большой гимназист, две девочки и несколько мальчиков в курточках. Она молча погрозила им пальцем, на что гимназист сделал ей реверанс и показал язык.

— Негодяи! — прошептала Катенька, возвращаясь в гостиную. — Господи, когда же этому будет конец!

— Комбинация!.. Комбинация!.. — неслось ей вслед.

— Да... так в женщине я прежде всего уважаю человека, — тянул Кекин, точно пережевывая свою мысль. — Это значит вместе с тем, что, уважая человека в другом, я уважаю его и в самом себе... Если разобрать сложную природу каждого чувства, то на поверку окажется, что наш ум скользит только по поверхности явлений и точно боится заглянуть внутрь, в самый корень... Например, возьмем... возьмем хоть любовь.

Последнюю фразу Кекин сказал с трудом по возможности сладким голосом и сбоку посмотрел на свою слушательницу, — девушка сидела с опущенной головой, как сидела когда-то в классе на скучном уроке геометрии. Кекину был виден только профиль ее лица и белая рюшка, охватывавшая нежную круглую шейку, точно венчиком цветка, — о, эти женщины умеют одеваться и из каких-нибудь пустяков, как рюшка, сумеют сделать такое... такое... Позвольте, на чем он остановился?

— Да, любовь... — уже шепотом продолжал Кекин, придвигаясь ближе к своей жертве, — это всесильное, мировое чувство... Конечно, я не имею в виду физической стороны, а то высшее, неуловимое духовное родство, которое заставляет биться два сердца в унисон. Женщина особенно велика в этом чувстве, это ее нормальная сфера... Да, любовь творит чудеса, любовь все понимает, любовь все прощает...

— Комбинация! — громко крикнул детский голос в зале, и затем послышались торопливые шаги улепетывавшего неприятеля.

Катенька быстро поднялась, но Кекин удержал ее, — он не любил, когда его прерывали, и нахмурился.

Девушка осталась. Глаза у ней расширились, и лицо побледнело. О, она отлично знала, что ее ждет впереди, — этот деревянный чурбан задушил ее одними своими разглагольствованиями! И какое самодовольство: он вперед уже прощает ее... Да ведь это не жизнь, а какая-то насмешка, и она все-таки должна быть его женой, потому что другого выхода нет.

— Все понимать — все прощать, — продолжал Кекин. — Это сказала умнейшая женщина.

Раздавшийся в передней звонок заставил Катеньку вздрогнуть, и она слышала, как дети всей гурьбой бросились через гостиную. Это, наверно, был Тихменев, — он приходил к ним именно в это время. Конечно, он, потому что дети шумят, как сумасшедшие.

— Я сейчас, Владимир Евгеньич... — проговорила Катенька, торопливо поднимаясь с места.

Кекин только пожевал губами и посмот-

рел на нее через очки злыми, остановившимися глазами. «Я понимаю...» — мелькнуло в этом взгляде. Девушке стоило большого труда, чтобы не выбежать из гостиной навстречу гостю.

— Комбинация сидит с невестой... — кричал в передней детский голос. — Он про любовь говорит...

Катенька остановилась на полдороге, точно ее ударили. «За что? — стучало у ней в голове, — Ах, все злые, все...» Она быстро повернулась и пошла назад в гостиную, когда из передней показался Тихменев.

II

— Аркадий Борисыч!.. Аркадий Борисыч!.. — кричали дети на все голоса, хватая гостя за руки, за фалды серой визитки и забегая вперед.

— А где папахен? — спрашивал он грудным тенором, отбиваясь от облепившей его детворы. — И мутерхен тоже дома?..

Невысокого роста, с широкой грудью и курчавой головой, Тихменев выглядел настоящим молодцом. Едва опушенное русой бородкой бледное лицо нравилось всем, и толь-

ко серые большие глаза смотрели немного жестоко. Он одевался с рассчитанной небрежностью, как человек, готовившийся «посвятить себя сцене». Пока Тихменев служил в акцизе и пожинал дешевые успехи на любительской сцене, по чиновничьим вечеринкам и особенно в кружке скучавших провинциальных дам. Его находили интересным — чего же больше? Тихменев везде был желанным гостем и ухаживал за всеми женщинами. Единственным его недостатком — людей без недостатков, как известно, не существует — было то, что он был женат на гимназической подруге Катеньки и, как семейный человек, терял много в глазах мамаш и дочек.

У Вициных он чувствовал себя, как дома, и без всякого доклада отправился из гостиной в столовую, а оттуда в кабинет к папахену, то есть к самому Вицину.

— А, вертопрах, здравствуй!.. — встретил его старик с остриженной под гребенку седой головой. — Ну, что можешь сказать в свое оправдание?

— Не виновен, доктор, но заслуживаю снисхождения... — бойко ответил Тихменев,

усаживаясь в кресло. — Хотел повидать Катеньку, жена ей поклон посылает, да эта Комбинация у ней завелась...

Оба посмотрели и захохотали. Когда в дверях кабинета показались головы ребят, старик вскочил и, замахнувшись книгой, крикнул:

— Эй, вы, челядь... к черту!..

Успокоившись и запахнув поношенный халат, он опять опустился в кресло и проговорил совсем другим тоном:

— Ну, ты, Аркашка, смотри... того...

— Чего?

— А вот этого... Зачем девку смущаешь? Не оправдывайся: все знаю. Выйдет замуж, тогда дорога открыта, а теперь пусть их потешатся... Вот у нас новая горничная, так можешь изощрять на ней свои таланты.

Пока доктор говорил все это, Тихменев равнодушно оглядывал незавидную обстановку докторского кабинета: заваленный книгами и бумагами письменный стол, у стены шкаф с медицинскими книгами, другой шкаф с инструментами и походной аптечкой, железную кровать и т. д. Вицин доживал век

военным врачом, и окружавшая его бедность кричала из каждой щели. Семья была большая, а казенное жалованье микроскопическое.

— Только? — насмешливо спросил Тихменев, ероша свою бородку, когда доктор кончил.

— Кажется, достаточно? Ведь Катенька не родная мне дочь, и даже не разберешь, как она мне приходится: жена вышла за Ордина уже за вдовца, значит, Катенька была дочерью от первой жены и приходилась ей падчерицей, а когда Ордин умер и я женился на ней... одним словом, черт знает, какая путаница. А я тебе скажу одно: Катенька очень уж ласково на тебя поглядывает... скажу больше: прямо влюблена... Как порядочный человек, ты...

— Понимаю, пожалуйста, без нравоучений... Вы, как порядочный человек, считаете своей обязанностью ловить Катеньку в коридорах и обнимать ее очень уж... по-родственному!..

— Ради бога... шш... — зашипел старик, оглядываясь на дверь.

— Ха-ха... Испугались, ваше благородие?.. Ничего, не беспокойтесь: я Антониде Степановне не выдам, если будете вести себя хорошо. Кстати, признайтесь, вы очень боитесь Антониды Степановны?

— Послушай... ты уж слишком, Аркашка!.. А Катеньку действительно раз обнял в коридоре...

— Потому что принял за жену? Ха-ха...

Когда в кабинет вошла сама Антонида Степановна, рыхлая и вечно больная дама с желтым лицом, разговор принял серьезный оборот. Говорили о приданом для Катеньки, о дне свадьбы, разбирали жениха и тому подобное, что говорится в таких случаях.

— Уж, кажется, я и не дождусь, — повторяла Антонида Степановна, вздыхая, — когда пристрою Катеньку... Девушка на возрасте, того гляди, сядет на руках Христовой невестой — тогда куда я с ней? Конечно, она в доме была необходима — занималась с детьми, помогала мне, но пора ей и о себе подумать... Не с нами же ей век вековать, а женихов-то нынче и с огнем не найдешь. Пойдемте, господа, чай пить, а Катеньке я пошлю чаю ту-

да...

Действительно, Антонида Степановна велела горничной подать чай жениху и невесте в гостиную. Катенька даже побелела вся, когда увидела поднос со стаканом чая и свою чашку, — у ней оставалась единственная надежда на вечерний чай, чтобы хоть на час избавиться от своего уединения, но и эта надежда оказалась разбитой. Зато Кекин был предоволен и смешно вытягивал губы, прихлебывая горячий кипяток. Как он противно чмокал губами, а потом облизывал их. Девушка вперед переживала всю свою жизнь с этим ненавистным уродом, и глухие слезы подступали к самому горлу. Что она такое — хуже сироты, а чужой хлеб горек. Когда была маленькой, то это еще не так выделялось, но потом... Конечно, Антонида Степановна добрая женщина, если бы не избывала ее замуж за первого встречного, а остальных она ненавидела. Старик Вицин, бесхарактерный, боявшийся жены человек, преследовал ее своими родственными любезностями с седьмого класса гимназии и, когда жены не было, одолевал ее скабрезными анекдотами, объятия-

ми и поцелуями. Старшие гимназисты писали на ее тетрадках непонятные ей слова и подсовывали неприличные фотографии. А она должна была молчать, чтобы не тревожить напрасно Антониды Степановны. В последнее время она просто боялась оставаться дома одна.

Единственное место, где она отдыхала, — это был дом замужней подруги Любочки Тихменевой, — как у них всегда хорошо, уютно и как-то вообще тепло! Конечно, Аркадий Борисыч был ветреный человек и редко засиживался дома, но он всегда являлся таким веселым, остроумным. Особенно любила Катенька, когда он пел. Между прочим, он и ее учил пению, и они исполняли даже один дуэт на любительском спектакле. Вот единственное светлое место в ее молодой жизни, и понятно, что в Катеньке проснулись к мужу подруги те чувства, какие она боялась назвать их настоящим именем, — она просто чувствовала себя необыкновенно тепло в его присутствии, скучала, когда его не было, и жила только ожиданием, когда он придет. Никаких расчетов на Тихменева она, конечно, не могла иметь и

старалась не думать, к чему ведет такое сближение, — ей было приятно, что он выделяет ее из среды других женщин и так необидно ухаживает.

Сейчас после чая Тихменев перешел в зал, сел за рояль и привычной рукой взял несколько громких аккордов. Дети опять столпились около него и заглядывали прямо в рот. Катенька вздрогнула, заслышав знакомые рулады. Потом он запел один из тех романсов, какие так любят провинциальные барышни. Пел он недурно, хотя и кривлялся порядочно. Как назло, попадались именно те романсы, которые любила Катенька. Когда Тихменев запел «Не говори, что молодость сгубила...», у ней на глазах показались слезы.

— О чем вы плачете, Катенька? — спрашивал Кекин, напрасно сдерживая поднимавшуюся в нем злость.

— Так...

— Это не ответ...

— Да просто потому, что так принято: все невесты плачут.

Она пересилила себя и даже улыбнулась сквозь слезы. Кекин успокоился, — действи-

тельно, все невесты плачут. А в зале полный мужской тенор так и выводил жестокие слова:

«...Близка-а-а ммоя ммо-ги-ла-а!..»

Потом Кекин опять говорил что-то долго и убедительно, но Катенька уже не слушала его. Когда Тихменев кончил свое пение и с шумом захлопнул крышку рояля, Катенька без всяких предисловий выбежала к нему, взволнованная, бледная, с горевшими глазами.

— А, вы дома? — удивился Тихменев, крепко пожимая маленькую дрожащую ручку. — Любочка вам кланяется...

У него улыбались одни глаза, но Катенька прощала ему и фальшивое удивление и фальшивые слова, потому что он сейчас пел для нее, ее любимые вещи, точно хоронил ее заживо.

— Мне нужно вам сказать одно слово... — прошептала она, опуская глаза.

— Як вашим услугам.

— Вы сейчас уходите?.. Я скажу в передней...

— Вы меня гоните, Катерина Васильев-

на... — заметил Тихменев, пожимая плечами.

В передней, когда он наматывал себе на шею шелковый платок, она припала к его груди русоволосой головкой и глухо зарыдала.

— Я... я... люблю вас... — шептали побелевшие губы.

— Милая... — ласково прошептал он, обнимая ее и целуя, — Милая...

Этот поцелуй заставил девушку опомниться. Она посмотрела на него совсем дикими глазами, быстро повернулась и убежала... Тихменев несколько времени постоял в передней, улыбаясь довольной улыбкой, тряхнул головой и вышел.

Кекин по-прежнему сидел на диване в гостиной и начинал терять терпение. Черт знает, в самом-то деле, какое глупое положение... Куда Катенька убежала?.. Но в этот момент вошла Антонида Степановна.

— Мы еще с вами не видались сегодня, Владимир Евгеньич... — проговорила она, тяжело опускаясь в кресло. — Катенька сейчас выйдет... Знаете, молодая девушка... все для нее так ново... нервы... ведь все мы, женщи-

ны, одинаковы.

Она уговаривала рассерженного жениха, как ребенка, и Кекин постепенно отошел. Если уж действительно все женщины одинаковы, то что тут поделаешь?..

— Вы поставьте себя на место Катеньки... — продолжала Антонида Степановна, прикладывая платок к глазам. — Она еще так молода... не понимает своего счастья...

— О, я понимаю... все понимаю... — растроганно отвечал Кекин и даже поцеловал руку у Антониды Степановны. — Вообще: комбинация...

III

Семья Вициных сложилась довольно оригинальным образом, как складываются семьи, может быть, только на Руси.

Антонида Степановна за доктора Вицина вышла уже вдовой. Первый ее муж, отец Катеньки, был вдовец, и она «вышла на детей», как говорят свахи. У Ордина осталось от первой жены двое детей — старшая дочь Катенька и сын Семен. Антонида Степановна пригрела сирот и прибавила еще от себя троих детей, так что, когда Ордин волею божьей по-

мре, у ней осталось на руках целых пять сирот. Положение было совсем безвыходное, если бы она не вышла замуж во второй раз за доктора Вицина и опять «на детей» — у доктора сиротело целых четверо ребят.

— Что же, нам уж заодно возиться с ребятами, Антонида Степановна, — говорил Вицин, когда делал предложение. — Такая уж судьба... Бог даст, не съедят, пока мы живы.

У «молодых» образовался с первых дней воспитательный дом, а потом Антонида Степановна подарила мужу еще троих. Получился настоящий муравейник, причем трудно было разобрать чужих от своих, да Антонида Степановна и не делала между детьми различия — всех бог дал, что же тут разбирать. Сам Вицин был не злой человек, но на детей он не обращал никакого внимания, предоставил все жене: это ее бабье дело. У него служба, дела, а ребятишки только мешают. Он заметил Катеньку уже в седьмом классе гимназии, когда она совсем выровнялась и сделалась взрослой, красивой девушкой. Даже и по жене Катенька была доктору чужая, и он часто поглядывал на нее прищуренными глазами.

Женщин он всегда любил, но жизнь так сложилась, что пришлось удовольствоваться самой серенькой обстановкой, а тут постоянно на глазах вертится такая свеженькая и красивая девушка. Дурных, мыслей старик не имел, но его так и тянуло обнять это цветущее молодое тело, которое точно говорило ему о собственной старости и неудовлетворенной жажде жизни. Антонида Степановна хорошо знала слабости мужа и поэтому никогда не держала в доме красивой женской прислуги — ведь все мужчины одинаковы, как и женщины. Это было ее философией, которая каждый день приносила какое-нибудь новое подтверждение. Старший сын доктора, гимназист седьмого класса, тоже ухаживал за Катенькой и не пропускал удобного случая поймать её где-нибудь в тёмной комнате, ущипнуть и прошептать на ухо что-нибудь скабрезное. Раз Антонида Степановна наткнулась на сцену, когда Сережа обнимал Катеньку, загнав её в угол гостиной.

— Дети... что вы делаете?! — ужаснулась Антонида Степановна, пораженная, как громом. — Ведь вы брат и сестра...

Сережа, конечно, убежал, как и следует мужчине, а Катенька осталась, сконфуженная, обиженная, жалкая.

— Разве можно себя так держать? — обрушилась на нее Антонида Степановна. — Ты самая большая в семье и должна подавать пример другим... Наконец, каждая женщина сама заслуживает того, как с ней обращаются. Я сама была девушкой и могу сказать, что никто не смел обнимать меня, как горничную.

— Я... я не виновата... — бормотала Катенька, сгорая от стыда и новой несправедливости. — Если они сами лезут... не дают прохода.

— Кто это «они»? Сережка?.. Да ведь он мальчишка, которого нужно за уши еще драть... И не оправдывайся: для меня все вы равны, и за всех я должна дать ответ богу. Да...

Из этого случая Катенька вывела только одно заключение, что женщины всегда, везде и во всем виноваты, а мужчины всегда, везде и во всем правы. Им все можно, а женщины должны все переносить. Это было несправедливо. И она возненавидела сильнейший пол,

больше — она почувствовала к мужчинам чисто физическое отвращение, как к чему-то неприличному и вообще гадкому.

Средства доктора Вицина были очень ограниченные, а поэтому громадная семья, как тыном, была окружена тысячью неотступных нужд. Одна обувь чего стоила, а потом всех нужно было одеть и накормить. Квартира была мала и неудобна, а дети сбились в двух комнатах. Катенька, в качестве старшей в семье, должна была помогать мачехе и по хозяйству и по части первоначального обучения. Эта орава детей требовала страшного напряжения, чтобы все было в порядке, да еще сама Антонида Степановна постоянно прихварывала. С подраставшими детьми увеличивались и нужды. Недостаток надзора отзывался, конечно, на детях прежде всего тем, что они никого знать не хотели в доме и забрали незаметно такую волю, что посторонний человек, в первый раз попавший в докторскую квартиру, в ужасе затыкал уши. Это был настоящий ад, где голосили, ревели, орали и выкрикивали на все тона неугомонные детские рты.

Как мы уже сказали, Катенька отдыхала только у Тихменевых, куда ей редко приходилось попадать. Ее подруга Любочка была пухлая и избалованная девушка, которая еще гимназисткой увлеклась талантами Тихменева и вышла за него замуж против воли родителей, убегом. Она была молода и красива, ничего не делала и по-своему чувствовала себя счастливой, потому что ни о чем не нужно было думать. Сам Тихменев редко бывал дома, потому что вечно пропадал где-нибудь по чиновничьим вечеринкам, на холостых пирушках, по любительским спектаклям, а если некуда было идти, то коротал время в клубе или в театре. У него весь город был знаком, а за кулисами он был, как у себя дома. Такая рассеянная жизнь не удивляла Любочку, потому что у ней вечно кто-нибудь вертелся из хороших знакомых, и она удовлетворялась легкими ухаживаниями этих гостей. Все-таки в результате получался хотя призрак счастья, и Катенька завидовала этой Любочке, у которой был свой угол, известное общественное положение и условная свобода замужней женщины. Тихменев всегда был внимателен

к жене, весел, и день за днем время катилось незаметно. Катенька с удовольствием поменялась бы с Любочкой житейскими ролями.

Тихменев со всеми женщинами усвоил себе то свободное и полушутливое обращение, какое позволяется таким добрым малым; поэтому Катенька не обращала внимания, когда он по ошибке обнимал ее.

— Я вас все смешиваю с женой... — отшучивался он с развязностью избалованного человека. — Что делать: проклятая-близорукость.

Близорукости никакой не было, но Тихменев носил пенсне для шика, особенно когда бывал в театре.

Раз на масленице они катались целой компанией. Катенька попала в одни сани с Тихменевым. Он был слегка навеселе и фамильярно обнял ее.

— Послушайте, Аркадий Борисыч... — строго заметила Катенька, освобождаясь от этих объятий. — Вы так себя ведете, что я должна буду пожаловаться Любочке...

— Что же, жалуйтесь, — засмеялся он, привлекая ее к себе и целуя в щеку. — Во-первых,

бог велел любить ближнего, во-вторых, сегодня масленица, в-третьих, я катаюсь с дамой, и, наконец, я просто пьян. Для чего же устраиваются такие пикники, на которых мужей и жен рассаживают по равным экипажам?.. Перестаньте, пожалуйста, разыгрывать из себя недотрогу-царевну, а то я сам должен пожаловаться на вас Любочке...

Потом Катенька узнала, что Тихменев вел вообще очень свободную жизнь и потихоньку от жены разыгрывал свои дешевенькие романы, не пропуская ни одной горничной. К Антониде Степановне время от времени завертывали разные старушки и своя сестра чиновница. Эти женщины всегда приносили с собой целый ворох самых свежих новостей, и городская жизнь делалась известной до последних интимных новостей.

Гостьи не стеснялись присутствием Катеньки, — что же, девушка большая, того гляди сама замуж выскочит, — и рассказывали всю подноготную. Антонида Степановна почти нигде не бывала и сама говорить о других дурное не любила, но послушать чужие толки и пересуды была не прочь. Благодаря этим

разговорам кумушек Катенька окончательно убедилась в своем мнении, что все мужчины — мерзавцы, и если есть среди них порядочные люди, то это потому только, что это или круглые дураки, или такие редкие исключения, какие не могут идти ни в какой счет, да и своих живых примеров было достаточно — тот же *papa* Вицин, Сережка, Тихменев.

Это с одной стороны, а с другой — Катенька уже была сформировавшаяся девушка, и в ней иногда просыпались чувственные порывы. Вся окружавшая ее обстановка наталкивала ее мысль и чувство именно в эту сторону. Являлись тоска, апатия и припадки уныния. Мечтать она не любила, как другие девушки, может быть, потому, что у ней не было подруг да и времени свободного тоже. Появление Кекина не обрадовало ее и не опечалило: не все ли равно, за кого ни выходить замуж. Когда Антонида Степановна приступила к ней с предварительными объяснениями, Катенька откровенно сказала:

— Мама, ведь я не маленькая и понимаю, зачем он ходит к нам.

Конечно, Антонида Степановна прослезилась, начала крестить Катеньку и все повторяла, что она не гонит ее, как другие мачехи, не избывает, а как она сама хочет. Кекин не красавец и не первой молодости, но человек хороший и т. д.

Но, чем ближе делался роковой момент, Катенькой начинало овладевать безотчетное беспокойство. Хотя она и не ждала ничего особенного от жизни, но провести ее с глазу на глаз с Кекиным, сделаться матерью его детей — это ее пугало все больше и больше. Она его не только не любила, но и не уважала, — что же это будет за жизнь? А тут еще Тихменев зачастил к ним в дом и все распевает свои романсы... Она чувствовала, что он приходит именно к ней, поцеловать у ней руку, вообще ухаживает. Сначала ее это злило, а потом она сама не могла дать себе отчета, как произошел в ней переворот, и она с какой-то жадностью пошла навстречу к нему. Пусть будет, что будет...

В роковой вечер своего объяснения с Тихменевым в передней Катенька была окончательно разбита. Она не спала всю ночь напро-

лет и все думала, думала, думала... Она уже видела себя m-me Кекиной, видела обстановку своей новой жизни и ту страшную пустоту, которую она принесет туда. Все равно, Кекин получит то, чего искал, — ее молодость и девичью красоту, а что же ей останется?.. Катенька плакала и ломала руки в отчаянии. Скверно было оставаться здесь, и скверно было впереди. В забытьи она звала Тихменева и чувствовала, как над ней наклонялось его молодое, красивое лицо, а в ушах стояли страстно призывавшие строфы его романсов. Ведь за миг такого счастья можно отдать всю жизнь, чем зачахнуть с этой деревяшкой.

— А, так вы вот как... — корила она кого-то. — Так я же знаю, что мне делать. Да... У меня есть своя комбинация.

Мысль, ударившая ее, как молния, действительно, была дикая и нелепая, но Катенька ухватилась именно за нее: хотя что-нибудь взять у мачехи-судьбы. Она и встала с веселым лицом, полная отчаянной решимости привести в исполнение свой план. Все равно, ведь она уже сказала Тихменеву, что любит его.

IV

Вечером Кекин пришел в свой час и занял свое место на диване в гостиной. Катенька встретила его в передней с бледным и встревоженным лицом.

— Вы не совсем здоровы? — заметил Кекин, заглядывая в лицо.

— Да… я плохо спала ночь.

— Нужно беречь здоровье. Mens sana in corpore sano…[334]

Девушка молчала, по-гимназически перебирая пуговицы платья.

Гостиная так же была освещена одной лампой, и так же Катенька села далеко от своего жениха. Разговор как-то плохо клеился, и шмыгавшие чрез гостиную дети мешали Кекину подсесть ближе. Он два раза протер свои очки и улыбнулся в пространство. У него сегодня выдался счастливый день: в седьмом классе написали прекрасный emendatum, потом директор поздравил с женитьбой, лукаво подмигнул, и, наконец, он после обеда заходил на будущую свою квартиру, где уже делались необходимые приготовления. Вообще все шло отлично, и Кекин, шагая по тротуа-

рам к квартире Вицина, даже бурчал какой-то мотив неизвестного происхождения.

— Итак, я считаю, что мы объяснились вполне... — заговорил он, протягивая руку по спинке дивана. — Это главное. Не правда ли?..

Он забыл только одно, что говорил все время он один, а Катенька только слушала и соглашалась. Но — ведь это все равно: он так привык, чтобы его все слушали. Мир в его представлении рисовался чем-то вроде громадного класса, где одни учат, а другие учатся.

— Вы, Владимир Евгеньич, говорили, что в женщине уважаете прежде всего человека... — начала нерешительно Катенька, чувствуя, что лицо у ней покрывается розовыми пятнами.

— Да, говорил...

— Потом вы говорили... Как это сказать?.. Все понимать. —

Она остановилась и посмотрела на дверь в зал, за которой уже слышался сдержанный шепот и топтание детских ног.

— Что вы хотите сказать? — удивился Кекин и еще раз протер очки.

— Я говорю, что иногда страх удерживает человека от желания высказаться... В обществе так много предрассудков и вообще несправедливости. Наконец, есть известные требования, которые почему-то предъявляются одной стороне... Мужчина, когда женится, идет с открытым лицом, и никто не спрашивает... не спрашивает, как он провел свою молодость. Даже больше: его самые некрасивые поступки сходят за какое-то молодечество... Мужчины думают, что женщины, то есть девушки, ничего не понимают и верят их каждому слову.

— Ну да... конечно, бывают случаи... — мычал Кекин, с удивлением глядя на заговорившую в первый раз Катеньку. — Но мне не ясно одно... Да, одно. К чему вы ведете речь в таком именно направлении?

— Я хочу сказать только то, что мужчина все себе может позволить и ни за что не отвечает...

— Вы хотите сказать: холостой мужчина?

— А разве это не все равно? Холостой будет женатым... Разве невеста не вправе спросить его откровенно... то есть я, конечно, вас не бу-

ду спрашивать, Владимир Евгеньич, потому что такой вопрос для девушки считается неприличным. Женщины должны удовлетворяться тем, что им достанется...

«Вот тебе и откровенность: сам навязал», — думал Кекин, предчувствуя какую-то неприятность.

Катеньке вдруг сделалось дурно, и Кекину пришлось в первый раз в жизни бежать за стаканом воды для женщины. В зале он наткнулся на кучу ребят, которые бросились от него врассыпную. «Комбинация!» — едва успел крикнуть кто-то, удирая во все лопатки. Когда он вернулся с водой, Катенька сидела на диване бледная, как полотно. Выпив воды, она заметно успокоилась.

— Оставимте этот разговор... — просил Кекин, расхаживая по гостиной. — Я лучше расскажу вам о квартире, то есть о *нашей* квартире. Да. Всего пять комнат, мебель я беру напрокат, улица тихая и недалеко от гимназии, одним словом — все условия... да, все условия.

— Нет, мне необходимо докончить этот разговор... — перебила Катенька с непонятной для него настойчивостью.

— Не лучше ли в другой раз, Катерина Васильевна?

— Нет, сегодня или никогда.

Кекину пришлось занять свое место на диване и приготовиться слушать, но им помешала горничная, подававшая чай. Чайная ложечка жалобно зазвенела в руках Катеньки, точно она дрожала со страха.

— Вот вы говорите о справедливости, об уважении к женщине... — заговорила девушка, переводя дух, — Но этого нет...

— Нет, уж извините... я знаю такую женщину, то есть девушку, которую уважаю и люблю больше всего на свете! — выпалил Кекин неожиданно для самого себя.

— Дайте мне кончить... Все это одни хорошие слова. Уважение к женщине вращается в таком тесном кругу и не переходит границ... как это сказать? Ну, да это все равно... Возьмите такой случай:-может быть, так называемая девушка с прошлым...

— Как вы сказали?

— Разве вы не знаете, что называется девушкой с прошлым?

— Ах, да... виноват... — смутился Кекин и

как-то вдруг съежился.

— Мужчины все с таким прошлым, а девушки являются исключением... Может быть со всяким человеком известная ошибка, увлечение, просто случайность, вообще несчастье, но разве девушке прощается что-нибудь?

Теперь Катенька смотрела уже прямо в глаза Кекину и даже придвинулась к нему. Глаза у ней горели, а рука, лежавшая на столе, вздрагивала.

— Такая девушка покрыта вечным позором... Ее казнят... и кто же? Тот человек, который сделал девушку несчастной, остается в стороне, и у него только одним приятным воспоминанием больше, да и общество на такие шалости смотрит снисходительно... Есть жертва, на которой и вымещается все. Позвольте... Если простая физическая ошибка — заметьте, всего одна ошибка — навсегда губит девушку, то что же нам говорить об уважении к женщине, о все-прощении — вообще о том, чего нет и не бывало. На чем же держится вся наша нравственность и уважение?.. Ведь это, наконец, обидно...

— Позвольте... что вы хотите этим сказать,

Екатерина Васильевна? — бормотал Кекин, отодвигаясь от нее.

— Вы не догадываетесь, Владимир Евгеньич, а еще столько говорили об откровенности... вы вперед готовы возненавидеть человека, которому проповедовали эту мораль...

— Вы... вы... вы...

— Да, я именно такая девушка... с прошлым...

Последние слова Катенька проговорила уже стоя, ухватившись одной рукой за стол. Роковое слово точно остановилось у нее в горле... Кекин предчувствовал удар и старался не смотреть на нее. Когда он открыл глаза, Катеньки уже не было в гостиной.

— Вот так комбинация... — растерянно бормотал он, не зная, что делать: убежать как-то неловко, оставаться — того хуже.

На выручку ему явилась Антонида Степановна, — она прибежала встревоженная, испуганная, жалкая.

— Что такое случилось, Владимир Евгеньич: с Катенькой истерика...

— Истерика? — переспросил Кекин. — Ах, да... До свидания, Антонида Степановна.

— Да куда же вы, Владимир Евгеньич? Нет, я вас не пущу... Может быть, какие-нибудь пустяки... Катенька еще глупа и ничего не понимает...

— Потом... потом... — бормотал Кекин, отыскивая свою шапку.

Так он и не сказал ничего Антониде Степановне, как она ни удерживала его. Разве он имел право выдавать чужую тайну, а Катенька ему сейчас была чужая... А он и квартиру нанял, и директор поздравил — вот так комбинация в самом-то деле.

В передней Кекин лицом к лицу столкнулся с Тихменевым. Они посмотрели друг на друга, смерили с головы до ног и отвернулись, — Кекин, как виноватый, выскочил из передней, а Тихменев только развел руками.

— Спятил, голубчик... — даже пожалел он.

— Ну, брат, у нас истерики... — объяснил все доктор, когда Тихменев вошел в кабинет. — Моя старуха катается в гостиной, а Катенька упражняется в своей комнате, то есть в детской... Ничего не пойму. И все это болван Кекин наделал...

— Он меня чуть с ног не сшиб в передней...

— Дикарь, одним словом.

Вечер в доме Вициных, несмотря на присутствие Тихменева, прошел скучно. Антонида Степановна ходила с заплаканными глазами и несколько раз напрасно стучалась в комнату к Катеньке — добрая женщина уже вперед обвиняла падчерицу во всей истории.

Когда Тихменев уходил, Катенька, наконец, показалась из своего заточения. Она улучила минутку, чтобы рассказать ему все.

— Катерина Васильевна, — бормотал он, пораженный всем случившимся. — Да как это вам в голову-то пришло?.. Да это что же такое?..

— Ах, не спрашивай... Все равно пропадать... — шептала она. — Он глуп и, посмотри, сам же придет ко мне... Я его ненавижу... он поверил, что я девушка с прошлым... ха-ха!

— Катенька... Катя... Катька...

— Ты теперь мой, мой, мой... хоть на день, на неделю, но мой... Уедем куда-нибудь... Я вперед пережила свой позор, свой девичий стыд...

На Тихменева вдруг накатилось раздумье: если эта Катенька была способна выкинуть

такую штуку, то потом от нее нескоро отвяжешься... Такие бабы прямо с револьвером охотятся за своими аманами: цок — и амана как не бывало. Но, с другой стороны, его захватила самая смелость Катенькиной выдумки, и потом, в каких дураках Кекин-то останется!

— Завтра я получу от него письмо и выговорю себе условием одну неделю... нет, две... У меня есть какая-то тетка, так будто к ней съездить. Ты будь готов.

Она теперь целовала его уже сама, как сумасшедшая, плакала и смеялась, и опять плакала, улыбаясь сквозь слезы.

V

— Люблю, люблю... тебя люблю... — шептала она, прижимаясь к нему всем телом, точно хотела прирасти к нему. — Я погибла, не живя... не любя... я гадкая... Ах, как мне было стыдно лгать на себя и обманывать его... я что-то такое много говорила и даже на него нападала...

— Письма от Кекина не было три дня, но Катенька была спокойна — шла вперед очертя голову. Объяснение с Антонидой Степанов-

ной ни к чему не повело, и Катенька повторяла только одно:

— Оставьте меня, мама... M-me Кекиной я еще успею быть.

На четвертый день явилось наконец письмо. Его принес почтальон вечером, когда Тихменев сидел за роялем, а Катенька разучивала под его руководствам цыганский романс: «Ночи безумные, ночи бессонные...». Катенька ниоткуда не получала писем, поэтому все ребята смотрели на почтальона с разинутым ртом.

— Екатерине Васильевне Ординой... — громко провозгласил гимназист, подавая письмо. — От Комбинации...

Тихменев сделал вид, что ничего не замечает, и продолжал разбирать ноты.

Катенька равнодушно взяла письмо, разорвала конверт, пробежала небольшой листик почтовой бумаги и подала Тихменезу.

«Милостивая государыня, Екатерина Васильевна, — писал Кекин мелким, сливавшимся почерком. — За эти три дня я так много пережил... Вы поймете мои чувства. Но не будем говорить о прошлом, а будущее зависит от

Вас. Обдумайте свое положение, загляните в собственную душу и решите, в состоянии ли Вы принять на себя священные обязанности жены и, может быть, матери. От своих слов я не отказываюсь, потому что слишком любил Вас и люблю... У всякого, видно, есть своя судьба, от которой не уйдешь. Греки называли это «ананки», а римляне — fortuna adversa... Мне страшно не за себя — я проверил себя и приготовился, но страшно за Вас. Уважающий в Вас свою будущую жену Владимир Кекин».

— Дурак... — решил Тихменев, возвращая письмо. — Этакими болванами тын подпирать.

Катенька ответила только через день и поставила непременным условием, что перед свадьбой уедет на две недели к тетке. «Мне тоже нужно подумать и прийти в себя, — писала она своим ученическим почерком, — а при нашей обстановке это невозможно... Я тоже много пережила за эти дни и не думаю, чтобы Вам было тяжелее. Во всяком случае, я не желаю и не имею права связывать Вас данным словом: Вы ошиблись в том, чего иска-

ли... Не лучше ли будет, если мы расстанемся навсегда?»

Уверенная в чувствах Кекина, Катенька писала эти строки с легким сердцем: нужно выдержать свою роль до конца. Только когда письмо совсем было готово, на Катеньку напало раздумье, — она еще раз перечитала письмо Кекина, и ее точно кольнул его простой, душевный тон. А она, что она делает? Но теперь уже поздно...

Вместо ответа Кекин явился сам, желтый, растерянный, жалкий. Он соглашался со всем, только бы скорее все кончилось.

— Вы были больны? — спрашивала Катенька, проникаясь участием к нему. — У вас такой цвет лица нехороший.

— Это так... это пройдет... Пришел взглянуть на вас... Соскучился, не могу...

Ей сделалось вдруг жаль его, но это было мимолетное чувство, погасшее так же быстро, как вспыхнуло. Опять та же гостиная, та же лампа, тот же tete-a-tete и тот же шепот за дверями. Кекин больше не читал наставлений и не заводил поучительных разговоров, а только потирал очки и тер себе лоб.

— Я вам расскажу когда-нибудь о лучшем римском императоре... — говорил он ни к селу ни к городу. — Марк Аврелий... да. Замечательный человек... Кстати, вы позволите мне проводить вас, Екатерина Васильевна?.. Я непременно приду... Ведь две недели одиночества для меня — это ужасно долго.

— Нет, лучше не приходите: мне будет тяжело прощаться с вами.

Он согласился. Это было наконец возмутительно: в этом глупом человеке даже не было мужского самолюбия, именно настоять на своем.

Катенька уехала по железной дороге. Тихменев уехал днем раньше и ждал ее на одной из промежуточных станций. Кекин прибежал к Вициным в тот же вечер, «повернулся» с четверть часа и ушел.

— Какой-то он чудной, Христос с ним, — решила Антонида Степановна, качая озабоченно головой.

— Не забыла ли она калош? — спрашивал Кекин. — И плед взяла? Ну, отлично...

Он еще завертывал раз пять и смотрел выжидательно на Антониду Степановну. Она по-

нимала этот немой вопрос: бедняга ждал письма, но письма не было-. Настоящий петух, у которого курица забежала в чужой двор...

Ровно через две недели, в назначенный срок, Кекин забрался на вокзал за час до прихода поезда. Публики было мало, и он то ходил по залу, то заглядывал на часы. Мало ли что может быть: сойдет поезд с рельс, стрелочник перепутает сигнал...

В довершение несчастья поезд действительно опоздал на целых десять минут благодаря какому-то снежному заносу.

Ведь вот, ни раньше, ни позже явился этот занос. Наконец часы показали 7 часов и 11 минут. Вдали, где-то точно под землей, раздался хриплый свисток, потом длинная пауза, и; поезд с лязгом и шипением подполз к платформе, точно железная змея, собиравшая свои кольца. Она весело выпорхнула из вагона второго класса и немного смутилась, когда увидала его счастливо-встревоженное лицо. За ней показался Тихменев, который сейчас же спрятался, завидев Кекина.

— Наконец-то... — счастливо шептал Ке-

кин, отнимая у невесты какой-то кожаный мешочек. — Ну, что, как твоя тетка?..

Он еще в первый раз сказал «твоя» и точно сам испугался собственной смелости. Но она так устала с дороги, что не заметила этого смущения и только чуть не спросила: какая тетка? Лицо у нее было такое утомленное, движения вялые.

— Это пройдет... — устало ответила она, когда он спросил о здоровье.

Через неделю Катенька была уже m-me Кекина. Свадьба была скромная, так что доктор Вицин не успел даже рассказать тех пикантных анекдотов и намеков, какие говорятся в таких случаях.

Молодые устроились на новой квартире. Как сжалось сердце у Катеньки, когда она в первый раз переступила порог своего нового гнезда! Предчувствие чего-то тяжелого и нехорошего явилось у ней при виде этой пустой квартиры, которую она должна была оживить. Но она не плакала, не горевала, а точно вся застыла. Кекин объяснял такое состояние по-своему и старался развлечь жену. О, теперь он отвечает за вое — есть (только

одно настоящее. У него есть свой home есть жена, а остальное все пустяки: подозрение да не коснется жены цезаря, а в своем home каждый человек цезарь. Эти ласки и внимание смущали Катеньку больше всего, и она краснела каждый раз. Такая застенчивость приводила Кекина в восторг: жена — сразу поддавалась ему и входила в круг его влияния.

— Не хочешь ли ты чего-нибудь, Катя? — повторял он каждый день, возвращаясь с уроков в гимназии.

— Нет, мне ничего не нужно... — отвечала она с какой-то торопливостью.

Это его огорчало, и он напрасно старался угадать ее вкусы и маленькие желания.

Когда в первый раз явилась к Кекиным Антонида Степановна, она сделала строгую ревизию всему хозяйству и высыпала целый ряд советов. Кекин был в восторге и во всем соглашался.

— Что же ты все молчишь? — спросила Антонида Степановна молодую хозяйку и посмотрела на нее строгим и проницательным взглядом: ее любящее материнское сердце подсказало ей, что здесь что-то не ладно.

Когда Кекин уходил на службу, наступали такие томительно долгие часы. Катенька ходила по комнатам, пробовала читать, но ничего у ней не клеилось. Эти стены были для нее чужие, да и сама она чувствовала себя чужой, какой-то тенью, призраком той женщины, которая по праву заняла бы здесь свое место. Она просто боялась оставаться одна, но вместе с тем никуда не желала ни выходить, ни выезжать. Тихменев посылал к ней несколько записок, назначал свидания, но ответа не получал. Катенька точно в воду канула.

Однажды, когда Кекин вернулся из своей гимназии, Катенька встретила его в передней и бросилась к нему на шею. Она с нетерпением ждала его целое утро и теперь, краснея и сбиваясь, объяснила, что, может быть, скоро он будет отцом. Кекин даже уронил очки от радости.

— Я?.. Отцом?.. — бормотал он, обводя глазами комнату. — Да я сейчас счастливее десяти Марков Аврелиев...

Эти ожидания оправдались. Опять явилась Антонида Степановна со своими советами, но

отнеслась к этой семейной радости как-то холодно и как-то все подозрительно поглядывала на Катеньку.

— Что же, дай бог... — повторяла она, — Дело житейское...

В следующий раз она явилась в сопровождении своей знакомой акушерки Маремьяны Петровны, которая походила на монахиню. Женщины приняли самое деятельное участие в положении Катеньки и долго что-то шептались между собой, многозначительно переглядывались и качали головами. Кекин от радости расцеловал вместо Антониды Степановны акушерку, которая даже отплюнулась.

Катеньке были прописаны прогулки. Она протестовала, но Маремьяна Петровна была неумолима: нужно — значит, и говорить не о чем.

— Нечего привередничать... — говорила Антонида Степановна. — Пока муж в гимназии, ты и гуляй.

Чего Катенька боялась, то и случилось. На одной из таких утренних прогулок она встретилась с Тихменевым. Он сначала издали раскланялся, а потом пошел за ней. Она слышала

его приближавшиеся шаги и остановилась.

— Чего вам еще нужно от меня? — спросила она, тяжело переводя дух.

— Катенька, да что с вами?

Она с удивлением посмотрела на него широко раскрытыми, испуганными глазами и сделала шаг вперед.

— Катенька...

— Не смейте меня так называть... — остановила она его.

— Да перестань, пожалуйста: все это глупые сентиментальности... Нужно смотреть на вещи прямо.

— Послушайте, Аркадий Борисыч... — заговорила она, тяжело переводя дух. — Знаете ли вы, что он, этот смешной Владимир Евгеньич, лучше нас обоих в тысячу раз?

— Это и нетрудно, Катерина Васильевна...

— Да, лучше, — повторяла она, не слушая его. — Он действительно любит меня... он так добр... а я... я должна еще раз обмануть его: он будет отцом чужого ребенка. Прощайте навсегда... навсегда...

Тихменев остался один на тротуаре и долго провожал глазами уходившую от него Ка-

теньку. «Все эти бабы походят одна на другую... — думал он в огорчении. — Ну с чего она так размякла?..»

VI

Стояла глубокая осень. Земля промерзла и звенела под колесами экипажей, как стекло. Начинал выпадать снег, но сейчас же таял, превращаясь в тонкий слой льда. Пешеходы падали, лошади спотыкались, и движение даже по главной улице заметно уменьшилось. Вообще весь город точно спрятался. Это была пора семейных радостей и маленьких домашних удовольствий. Никого не тянуло вон из дома, как летом, и люди сгрудились, как сбившаяся на зимних становищах перелетная птица.

Когда по улице катился экипаж, особенно ночью, Катенька с болезненным напряжением прислушивалась к приближавшимся и исчезавшим звукам. Вот это стучит колесо, а это лязг копыт по обледеневшей мостовой. Странно, что теперь все звуки, как в центре, сосредоточивались у ней в ухе, а потом отдавались внутренней болью. Раньше Катенька не чувствовала, что она слушает и что у ней

есть уши, — процесс слуховых впечатлений совершался помимо сознания, которое пользовалось только готовыми материалами. То же было и с глазами: тогда Катенька только видела то или другое, а теперь чувствовала, что она смотрит. Вообще нервная чуткость развивалась в ней все сильней. Катенька даже удивлялась, что другие могут так спокойно ходить и вообще двигаться, когда она должна лежать совершенно неподвижно, и боялась шевельнуться, — раздавленный человек, вероятно, испытывает то же.

Всякое постороннее движение ее раздражало, особенно когда по комнате мимо ее кровати своими неслышными шагами двигалась Маремьяна Петровна. Катенька закрывала даже глаза, чтобы не видеть ее.

— Не нужно шевелиться, милая, — повторяла акушерка по тысяче раз на день. — Потерпите, голубушка, еще пять дней. Много терпели — немножко остается дотерпеть.

Неужели Катенька опять будет ходить, двигаться, даже танцевать? Эта мысль ее удивляла. Назади оставалось что-то такое страшное, бессмысленное, жестокое и вообще

ужасное, что она старалась о нем не думать. Первые муки материнства на время уничтожили начинавшийся в ней внутренний перелом. Она даже не боялась умереть, только бы все это случилось скорее. Те радости матери, когда она слышит первый крик первого ребенка, для нее остались неиспытанными.

Она даже не полюбопытствовала узнать, кто родился — мальчик или девочка. Не все ли равно? Это равнодушие очень беспокоило Маремьяну Петровну, и старушка смешно поднимала одну бровь. Антонида Степановна завертывала проведать больную каждый день и таинственно шепталась с акушеркою.

— Конечно, мальчик бы лучше... — повторяла грустно акушерка. — Ну, да ничего, девчонка такая славная, как огурчик.

Роды были трудные, и доктор удивлялся терпению больной, не проронившей ни одной жалобы. Когда ей показали родившуюся девочку, Катенька взглянула на ребенка как-то мельком и даже не поцеловала, а знаком руки попросила унести его: она узнала в нем того, о ком боялась думать. Это было страшное наказание, которое останется на целую

жизнь и переживет ее. Только мать могла почувствовать то, что чувствовала она, угадывая чутьем по форме лба и разрезу глаз настоящего отца ребенка. Шумная радость Владимира Евгеньича приводила ее в отчаяние, хотя он, по эгоизму всех молодых мужей, радовался не за ребенка, а за мать: ведь он так любил ее, а она могла умереть.

А он так радовался и постоянно бегал в детскую, вызывая покровительственную улыбку Маремьяны Петровны. Когда он в первый раз захотел взять ребенка на руки, акушерка предупредила его:

— Пожалуйста, осторожнее, а то некоторые отцы берут детей за голову...

Да, он был отец и переживал целый ряд еще не испытанных ощущений, начиная с какого-то виноватого чувства перед женой. Ведь она одна своими муками выстрадала его радость, и он пользовался как бы краденым счастьем. По ночам он часто приходил в спальню, чтобы узнать, спит ли жена и не нужно ли ей чего. О, она никогда ничего не просила у него и оставалась такой же и теперь. За время болезни она очень изменилась, и он заме-

тил, что она рада, когда он заходит к ней в комнату. Она встречала и провожала его глазами, улыбаясь печальной улыбкой.

— Все идет отлично... — успокаивал доктор, когда Кекин приставал к нему с теми глупыми вопросами, какие родятся в голове встревоженных людей и ужасно сердят докторов. — Вы, кажется, воображаете, что на всем земном шаре вы единственный отец? Даже в болезнях люди повторяются, как во всем другом.

— Я больше не буду, доктор... — по-школьнически оправдывался Кекин.

А больная все лежала и думала. Старое возвращалось к ней с новой силой. Она чувствовала, что с ней что-то делается, чего не замечают другие и чего не проверить никакими термометрами. Иногда начиналось головокружение, являлась острая боль в спине, а в глазах предметы расплывались в пятна. Однажды, когда она проснулась утром, Маремьяна Петровна посмотрела ей в лицо и встревожилась.

— У вас, голубушка, глаза не хороши... — прошептала она, поднимая уже обе брови.

— Пустяки, это вам так кажется... — оправдывалась больная.

Но эти пустяки оказались серьезнее, чем в первый раз предположила старая акушерка. У Катеньки открывалась родильная горячка... Экстренно приглашенный доктор только покачал головой.

— Что, доктор? — спрашивал Кекин, дожидавшийся в передней.

— Хорошего ничего нет... Кекину показалось, что он ослышался, и он посмотрел на доктора остановившимися глупыми глазами.

— Нужно терпение и... и твердость, — посоветовал доктор, надевая калоши. — Жизнь — плохая шутка.

Кекин в ужасе почувствовал себя несчастнее десяти Марков Аврелиев... В одной России родятся миллионы детей, и неужели она, Катенька, должна умереть? Нет, это глупо, бессмысленно и дико. Его так и тянуло взглянуть на больную, но он боялся идти в спальню, чтобы не выдать себя печальным выражением лица, вздохом, вообще движением. Он чувствовал себя виноватым, как провалившийся из главного предмета на экзамене школьник.

— Вот оно, спокойствие-то, и объяснилось, — шушукала акушерка.

Катенька сама позвала мужа в спальню. Когда он вошел, она лежала вся красная от охватившего ее жара, а потом сейчас же начался пароксизм лихорадки, так что он слышал, как стучали у ней зубы. Боже мой, а давно ли они сидели вдвоем на диване там, в гостиной у Вициных, а она так мило краснела, слушая его! Счастье разваливалось на его глазах, а он мог только смотреть и страдать, молча и глубоко страдать.

— Подойди ближе... — шептала она. — Наклонись.

Она взяла его за голову и долго смотрела ему в глаза, — неужели это тот Кекин, какого она знала раньше? Он ее так любил...

— Ты добрый... хороший... — продолжала она. — Спасибо за все...

— Катя, ты точно... точно прощаешься... зачем?

У ней лицо вдруг сделалось серьезным, и явилось то детское выражение, которое так любил Кекин.

— Я не боюсь смерти... Ты мне скажи, Во-

лодя, когда пойдет первый снег.

— Для чего это тебе?

— О, нужно... очень нужно...

Кекин выбежал и долго рыдал в своем кабинете. Это были те бессильные, жалкие слезы, какими плачут только мужчины.

А больная всех спрашивала, когда пойдет первый снег, и ждала этого момента с лихорадочным нетерпением. Даже в бреду, когда она металась на своей кровати, мысль о снеге не покидала ее... Наконец в одно утро показался снег — Маремьяна Петровна даже распахнула занавески, чтобы показать больной, как в воздухе кружились пушистые снежинки. Катенька как-то вдруг успокоилась и затихла, — о, ей еще в первый раз сделалось так легко, точно она сбросила с себя давившую ее тяжесть. В окно врывался какой-то белый свет.

— Позовите мужа... — просила больная.

Он пришел, стараясь не выдать душивших его слез. На этот раз больная не просила его садиться ближе, а несколько времени молчала, точно собираясь с силами. Обведя комнату глазами, она сделала Маремьяне Петровне знак, чтобы та вышла из комнаты.

— Тебе лучше, моя дорогая...

— Да... лучше!

В нем вспыхнула на мгновение какая-то безумная надежда на возможность благополучного исхода: недаром же она так ждала первого снега. Он жаждал чуда, потому что ум отказывался понимать.

— Владимир Евгеньич...

— Я, моя хорошая, здесь... тебе трудно говорить..?

Но она с непонятной для него энергией облокотилась на подушку и заговорила — как его душа жаждала чуда, так ее душа искала исповеди, прощения, покоя. Прежнее спокойствие сменилось страшной тоской.

— Как я жить хочу... — шептала она. — Но все равно: я скоро уйду от тебя совсем... и мне не хотелось бы оставить тебя...

Бросив всякие предисловия, она вдруг высказала ему то, что ее давило камнем. Да, нужно скорее, сейчас все сказать, потому что время не ждет и каждая минута дорога... Ведь она была такая дурная, так ловко обманывала его до последней минуты, но не хочет уносить с собой обмана в могилу. Кекин оторо-

пел, точно его вели на казнь, — такое выражение бывает только у приговоренных к смерти преступников. А она все говорила, припоминая малейшие подробности своей «комбинации».

— Теперь все... — закончила она, падая на подушки. — Я не сказала бы вам ничего, если бы... если бы не полюбила вас в последнее время... дайте мне унести это хорошее чувство с собой...

Когда Маремьяна Петровна вошла в спальню, Кекин сидел все на том же стуле в каком-то столбняке.

Через пять дней Катеньку похоронили, но он пришел в себя только через месяц и, встретив Маремьяну Петровну на улице, проговорил:

— Ведь это был бред... да, ужасный бред!

Пан Копачинский

(рассказ)

I

В кабинете Суходоева всегда дарил приятный для глаз полумрак. Два больших окна были почти совсем закрыты драпировками, а снизу свет мог проникать в них только через шелковые синие ширмочки. Темные обои, темная мебель, несколько фотографий на стене, два шкапа с книгами, широкий диван, обитый тисненой кожей, — все было просто, солидно и очень дорого, как в кабинетах у настоящих дорогих дельцов. Когда пан Копачинский вошел сюда, он сразу оценил опытным глазом мельчайшую подробность. О, уж если кто знал толк в обстановке, то, конечно, он, пан Йозеф, и никто больше! Копачинский даже прищурился и понюхал подкуренный послеобеденной дорогой сигарой воздух. Да, отлично, как и следует быть у порядочного человека, который имеет два кабинета: один для обыкновенных посетителей, а другой для интимных бесед и дорогих клиентов. Копа-

чинский сразу попал именно в этот второй кабинет, хотя и почувствовал с первого раза на себе пытливо-недоверчивый, с легким оттенком брезгливости взгляд хозяина. Э, пусть его морщится: пан Йозеф видал и не такие приемы.

— Игнатий Савельич поручил мне вести с вами переговоры относительно городского выгона, который необходим для нашего вокзала, — начал деловым тоном Копачинский, ловко бросая в правый глаз монокль. — Да, это дело необходимо наконец вырешить в ту или другую сторону... Вообще мы должны объясниться, Илья Васильич.

— Что касается лично меня, то я не избегаю объяснений, сухо ответил Суходоев, вопросительно глядя из-под золотых очков на своего гостя. — Если вы...

— Не я, ах, совсем не я, а Игнатий Савельич... — быстро поправил Копачинский и даже отмахнулся рукой, точно одно сопоставление его имени с именем Игнатия Савельича являлось по меньшей мере святотатством. — Моя роль самого скромного характера: твори волю пославшего...

Копачинский говорил с сильным польским акцентом, который заставлял Суходоева ежиться и фукать носом. Эти два человека являлись полным контрастом. Суходоев был кряжистый, полный господин с широким русским лицом и небольшими умными глазами; его характерную голову с угловатым выпуклым лбом портила только преждевременная лысина и усталый взгляд. Одет он был в просторный домашний костюм, как одеваются старинные баре, не привыкшие себя стеснять. Но в глазах Копачинского он являлся все-таки кацапом, в лучшем случае — parvenu[335] глухого губернского городка. Сам Копачинский являлся сильно изношенным старым джентльменом с претензиями на изысканность. Когда-то он был очень красив, но сейчас от прежней красоты остались только одни морщины, желтый цвет лица, слегка дрожавшие руки и дурные привычки дамского баловня. Типичное польское лицо, сухое и вытянутое, с римским носом и крашеными усами, сохранило живыми одни глаза, большие и темные, глядевшие беспокойно и вопросительно, как у насторожившейся птицы.

Вообще подвижность изношенного пана рядом с тугой солидностью доморощенного дельца являлась резким контрастом, и Суходоев выдерживал с гостем деловой, солидный тон только благодаря магическому имени самого Игнатия Савельича. «Прохвост какой-то...» — думал Суходоев, глядя куда-то в угол.

— Я вас не буду задерживать, — продолжал Копачинский со своей обычной торопливостью. — По-моему, дело ясно, как день... Если хотите, Игнатий Савельич тоже хлопочет в интересах города: чем ближе будет вокзал к черте города, тем лучше для вас, то есть для обывателей. Я говорю совершенно откровенно, потому что чем скорее мы кончим, тем лучше для обеих сторон.

— Откровенность за откровенность: зачем Игнатий Савельич ведет переговоры с Кичигиным? — ответил Суходоев вопросом и посмотрел на гостя в упор. — Это называется: двойная игра... Кичигин — наш враг, потому что его имение врезывается в городской выгон. У нас идет с ним процесс уже лет двадцать, то есть у города. Мы, без сомнения, вы-

играем дело, но пока вопрос остается все-таки спорным... По-моему, Игнатию Савельичу вернее и выгоднее было бы иметь дело с городом, а не с спорным землевладельцем. Вот мое мнение.

— О, вы совершенно правы!.. Представители города забывают только одно, именно — что Игнатий Савельич здесь совершенно новый человек, который имеет право и не знать некоторых обстоятельств... Сегодня он выстроит вам железную дорогу, а завтра он в Самарканде или в Архангельске.

— Тем более ему следовало иметь дело с городом и только с городом.

Пан Копачинский съежился и лукаво прищурился, что заставило Суходоева подумать, уж не сказал ли он чего-нибудь лишнего. Ему показалось, что изношенный пан только ждет малейшего повода, чтобы заговорить с ним амикошонским тоном, как с любым из железнодорожных подрядчиков. Гость решительно не хотел замечать производимого его словами впечатления, подвинулся вместе со стулом к гостеприимному хозяину и улыбнулся, показывая вставные зубы, совсем весе-

ло.

— Говоря между нами, все это вопрос самолюбия... — вкрадчивым полуголосом продолжал Копачинский, улыбаясь одними глазами, — да, самолюбия... И вы должны согласиться со мной, Илья Васильич. Город ждал, когда Игнатий Савельич придет к нему с поклоном, а Игнатий Савельич ждал, в свою очередь, когда город к нему придет... Вопрос первого шага — не больше... Да. Конечно, в интересах города, чтобы вокзал был построен ближе, и, как мне кажется, Игнатий Савельич имеет некоторое право на ваше внимание, хотя, как видите, и делает сам этот первый шаг. Признаться сказать, мне не особенно было лестно принять эту щекотливую миссию, но Игнатию Савельичу стоило только выразить желание, и я немедленно отправился к вам. Полагаю, что в моем лице вы уже получили достаточное удовлетворение для первого раза.

Изношенный пан был или безнадежно глуп, или уж слишком умен. С другой стороны, почему-то Игнатий Савельич послал его, а не кого-нибудь другого из своих «железно-

дорожных молодцов». Эта мысль обезоружила подозрительность Суходоева, и он без обиняков приступил к делу.

— Обратите внимание, что Игнатий Савельич послал меня не к городскому голове, а именно к вам, — повторял Копачинский, начинавший чувствовать под своими ногами твердую почву. — Я не буду объяснять этого особенным почтением к вам, а простым коммерческим расчетом... Для уважения необходимо слишком хорошо знать человека, а здесь только вопрос скорейшего разрешения возникшей путаницы. Ни для кого не тайна, что городские дела вершатся под вашим сильным влиянием...

Кора неприступности провинциального дельца растаяла, и последовал переход к делу. Появился на сцену план города, отчеты думских заседаний, какие-то сметы и соображения, примерные выкладки и проекты. Копачинский, как оказалось, был в курсе дела, и соглашение, тянувшееся несколько лет, состоялось в несколько минут. Условия, предложенные городом, не противоречили намерениям Игнатия Савельича. В заключение этой

сделки последовал легкий завтрак, и Копачинский, попивая подогретое красное вино, добродушно говорил:

— А какое я пил вино, когда жил в Париже в шестидесятых годах!..

Он даже закрыл глаза и причмокнул. Эта выходка опять заставила Суходоева съежиться, и он простился с гостем довольно сухо.

— Могу считать мою миссию законченной? — спрашивал Копачинский уже в передней.

— О, совершенно... Мой поклон Игнатию Савельичу.

II

Постройка железной дороги для города Пропадинска являлась целым событием: он входил в семью других русских городов, переставших быть захолустными. Всех охватила какая-то лихорадка и смутные предчувствия чего-то лучшего, точно первый свисток паровоза мог разбудить мирно дремавшее захолустное болото. Наехавшие инженеры окрестили Пропадинск кличкой «лягушатника». Проснувшиеся обыватели подняли цены на квартиры и на свои «продукты», торговля

оживилась, а местный общественный клуб буквально процвел. В Пропадинске, конечно, было два клуба — благородный и общественный, но инженеры-строители примкнули к последнему. По вечерам в нем шла настоящая толкучка: играла музыка, танцевали дамы, в бильярдной щелкали шары, а в отдельных кабинетах резались в штос. Одним словом, закипала настоящая жизнь, точно неизвестная благодетельная фея пролетела незримо над Пропади иском и взмахнула своей волшебной палочкой.

Мы уже сказали, что жизнь сосредоточивалась главным образом в общественном клубе. Суходоев приезжал туда часов около десяти, чтобы повидаться кой с кем из нужных людей и поужинать; он держал себя особнячком, как и приличествует деловому человеку. Сегодня Суходоев чувствовал себя особенно хорошо и вошел в клуб маленьким победителем. Снимая в передней пальто, он заметил игравшего на бильярде Копачинского и прошел прямо наверх, не желая встречаться с прохвостом, каким в его глазах остался этот сомнительный пан. Обойдя несколько ком-

нат, где играли в винт, и заглянув в танцевальный зал, он остановился в дверях буфета. Половина стола была занята инженерами-строителями, являвшимися в клуб каждый вечер полным составом: тут были и Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович, и фон-Укке.

— Илья Васильич!.. — послышалось разом несколько голосов.

Это общее внимание польстило Суходоеву: он был самолюбив, как все самородки, и кокетничал своей деловой неприступностью.

— Весь железнодорожный иконостас в сборе, — сострил он, здороваясь с «молодцами». — Недостает только протодьякона...

Протодьяконом Суходоев называл Игнатия Савельича, что вызывало каждый раз дружный смех, но сейчас все лица обернулись к запертым дверям отдельного кабинета, и послышалось предупредительное шипение: *сам* был здесь... И Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович, и фон-Укке делали Суходоеву телеграфные знаки, что его окончательно развеселило.

— Такая провинция! — ругался фон-Укке,

когда Суходоев подсел к нему, — Так нельзя, Илья Васильич... Услышит, пожалуй, наш-то принципал.

— Так что же из того? И пусть слышит... Мне все равно. Хорошо я испугал вас всех...

— Ну, будет, Илья Васильич. Ведь мы верим, что ты остроумный человек.

«Молодцы» были веселый народ и не любили терять время даром. Появление Суходоева оживило веселую компанию еще больше, и посыпались шутки и остроты по адресу «лягушатника». Суходоев только улыбался и, в свою очередь, отшучивался. С фон-Укке он был на «ты».

— Я слышал, что ты получил командировку в Петербург? — спрашивал Суходоев приятеля. — Говорят, Игнатию Савельичу понадобились десть бумаги и дюжина карандашей, так тебя и командировали... Одних прогонов получишь больше тысячи рублей.

«Молодцы» весело смеялись, а Горбатович громко хохотал, откинув голову назад. Немного задетый фон-Укке отделался обратной шуткой:

— Я ведь не Горбатович, Илья Васильич...

Это Горбатович в третьем году ездил в Лондон посмотреть, в котором часу отходит поезд в Бирмингам.

— Что же, действительно ездил, — согласился Горбатович, не смущаясь.

Выпив красного вина, Суходоев подхватил фон-Укке под руку и повел из буфета.

— А ведь протодьякон-то сам ко мне пришел, — сообщил он по секрету. — Да... то есть он подослал «молодца».

— Не может быть!

— Я тебе говорю... — Да сегодня же утром был об этом разговор, и Игнатий Савельич заявил категорически, что первый одного шага не сделает.

Суходоев рассказал о визите Копачинского, и фон-Укке развел только руками. При чем тут Копачинский? Он, собственно говоря, черт знает зачем и живет здесь. Так, околачивается около Игнатия Савельича... Что-нибудь да не так. Наконец, это просто глупо. Освободившись от Суходоева, фон-Укке полетел с докладом к Игнатию Савельичу, который ужинал в отдельном кабинете со своей содержанкой Марьей Андреевной tete-a-tete.

Это был среднего роста, седой, плотный старик купеческого склада. Русское бородатое лицо смотрело хитрыми карими глазами насквозь. Марья Андреевна, представительная полная дама, всюду следовала за ним и слыла в среде «молодцов» под именем «мамаши». Выслушав доклад фон-Укке, Игнатий Савельич даже покраснел от волнения и коротко сказал:

— Позвать его сюда...

Фон-Укке полетел в бильярдную за Копачинским; он, как охотничья собака, понимал каждый жест владыки-концессионера. Копачинский «делал шара», когда фон-Укке потащил его наверх.

— О, сто тысяч дьяблов! — ругался Копачинский, смахивая дорогой мел с сюртука. — Дайте кончить партию...

— Приказано доставить вас немедленно, живого или мертвого.

В кабинете Игнатия Савельича собрались все «молодцы»: и Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович. Появление сконфуженного Копачинского вызвало несколько улыбок и сдержанный шепот. «Мамаша» тихонько толкала

своей полной рукой Горбатовича, — это был ее фаворит. Суходоев мельком видел, как фон-Укке протащил Копачинского, и в волнении ждал, чем разыграется вся комедия.

— Тебя кто посылал к Суходоеву? — в упор спросил Игнатий Савельич, не глядя на Копачинского.

— Я, Игнатий Савельич... меня... я...

— Дурак!.. — оборвал его старик и даже ударил кулаком по столу, так что Марья Андреевна вздрогнула всем своим грешным телом. — Суешься не в свое дело, болван...

«Молодцы» переглянулись, довольные даровой комедией. При всяких недоразумениях Копачинский являлся козлом отпущения, и на его голову валилось все.

— Нет, вы посмотрите на него! — кричал Игнатий Савельич, бегая около стола. — Посмотрите на него... Да разве таких болванов посылают с какими-нибудь поручениями? Меня-то в какое положение поставил... Я пойду с поклоном к какому-нибудь Суходоеву? Ха-ха... Они должны прийти ко мне и придут, если не хотят, чтобы я кончил с Кичигиным...

— Конечно, Игнатий Савельич, — хором

подтвердили «молодцы».

Копачинский стоял в самом жалком виде, точно он сразу состарился на десять лет. Он и ростом казался ниже, и лицо как-то осунулось, и ноги дрожали. Даже Марья Андреевна сжалилась над стариком и своим ленивым певучим голосом за метила:

— Будет тебе, Игнатий Савельич... Рябчики совсем остынут. Надоел...

— Вон! — крикнул Игнатий Савельич и еще раз стукнул кулаком по столу так, что Марья Андреевна даже вскрикнула и схватилась за руку Горбатовича. — Нет, каков гусь? — ругался Игнатий Савельич, когда Копачинский исчез. — Я буду посылать такого мерзавца к Суходоеву?.. Да я... тьфу!

Неистовствовавший старик еще хотел что-то прибавить по адресу несчастного пана, но Марья Андреевна торжественно поднялась с места, и он сразу утих.

— Ну, не буду, Маша... — слащаво заговорил он. — Виноват... Святого выведут из себя...

Когда фон-Укке сообщил результаты этой очной ставки Суходоеву, тот, в свою очередь,

остолбенел. Что же это такое в самом деле? Какая-то глупая комедия... И кто из них троих дурак?..

— Да что он у вас такое, этот Копачинский? — обратился он к фон-Укке.

— Никто. Так, ходит кругом да около. Просто дурак...

— Однако с чего он придумал такую штуку?

— Да так, от нечего делать...

III

Суходоев чувствовал себя скверно. Вернувшись из клуба домой, он категорически заявил лакею, чтобы Копачинского не принимать.

— Так и скажи ему: «Дома, а принимать не приказано», — повторил Суходоев особенно внушительно.

— Слушаю-с...

Действительно, Копачинский явился на другой же день и был искренне огорчен ответом лакея.

— Как же так, братику... — растерянно бормотал он. А мне нужно видеть твоего барина... Очень нужно!..

— Не могу знать-с...

Из окна своего второго кабинета Суходоев видел, как проследовал Копачинский к нему и обратно. Это его взволновало до такой степени, что он даже огорчился собственным малодушием. Конечно, он, Суходоев, вчера разыграл с этим прожженным паном порядочного дурака, но ведь черт его знал, что он за человек... И человек имеет нахальство являться еще раз в дом, откуда его выгонят в шею? Нет, это, воля ваша, хоть кого обескуражит...

Целый день для Суходоева как-то не удался: утром прогнал двух клиентов, за обедом поссорился с женой и должен был просить прощения, после обеда не мог заснуть, как это делалось обыкновенно. Одним словом, целый день был испорчен. Вечером, разбирая какое-то дело, Суходоев чувствовал, что сегодня не может работать, но из упрямства хотел пересилить это дурацкое настроение. Было всего часов семь, когда так хорошо работается. Сделав над собой усилие, Суходоев наконец сосредоточился над работой и совсем не слыхал, как отворилась в его кабинет небольшая

дверка, выходившая в коридор. Кто-то вошел осторожными шагами и еще осторожнее кашлянул: это был Копачинский, пробравшийся в дом черным ходом.

— Вы... вы... — забормотал Суходоев, вскакивая.

— Нет, вы... что вы со мной делаете, Илья Васильич? — накинулся, в свою очередь, Копачинский. — Вы заставляете меня попадать к вам с заднего крыльца...

— Послушайте, вы сошли с ума или меня считаете за дурака...

Суходоев протянул руку к колокольчику, но Копачинский остановил его умоляющим жестом.

— Выслушайте меня, Илья Васильич... всего два слова...

— Не желаю!.. Убирайтесь вон, если не хотите, чтобы вас выгнал лакей... Всему есть границы, милостивый государь! Понимаете? Только нахалы могут врываться в дом подобным образом, как это сейчас сделали вы.

Копачинский побледнел, выпрямился, заложил руку за борт сюртука и с достоинством ответил:

— Благодарите бога, милостивый государь, что вы имеете дело с человеком хладнокровным... да. Я пришел к вам требовать удовлетворения.

— Что-о?!.. Ха-ха... Это еще что за комедия?..

— Да-с... И вы мне его дадите. Давеча оскорбил меня Игнатий Савельич, а сейчас оскорбили вы... Еще раз: благодарите бога, что я могу выдержать характер до конца. Да, вы поступили два раза бестактно и кругом виноваты... Я еще мог бы извинить вашу вчерашнюю выходку женщине, но мужчину я привык считать за равного... С какой стати вы вчера, милостивый государь, разболтали все о нашем соглашении фон-Укке? Да, повторяю, разболтали... Вы, серьезный человек, поступили, как женщина. Что же осталось делать Игнатию Савельичу? Чтобы сохранить свой престиж, он, конечно, пожертвовал мной и сделал это с приличной помпой... Да-с, я краснел, и краснел не за себя, а за вас! Понимаете вы наконец меня, черт мою душу возьми?

Не дожидаясь приглашения, Копачинский

подошел к столу и занял тот стул, на котором сидел во время происходившего соглашения. Суходоев смотрел на него широко раскрытыми глазами и не мог сказать ни одного слова.

— Вас удивляет моя роль при Игнатии Савельиче? — ответил на его немой вопрос Копачинский и горько усмехнулся. — Вы угадали: роль жалкая... Я понимаю это и сам, понимаю, может быть, в тысячу раз лучше, чем все те, кто радуется моему позору. Что делать, так сложились обстоятельства...

— Что же вам нужно от меня? — спросил Суходоев после некоторой паузы. — С своей стороны, могу только пожалеть вас за ваше неудобное положение... Согласен: скверное положение. Но я-то при чем тут? Другое дело, если бы вы предупредили меня в момент соглашения...

— А сами вы не могли догадаться, Илья Васильевич? — как-то грустно спросил Копачинский. — Французы называют это ставить точку над буквой i... Для меня лично некоторым оправданием является то, что на мое место при Игнатии Савельиче нашлись бы десятки желающих; наконец, я несу свой позор

по грустной необходимости: нужно же чем-нибудь жить. На какую другую службу примут меня?.. Вообще могу сказать, что я ем очень горький кусок хлеба... да. Но и при всем том я считаю себя все-таки выше хоть того же фон-Укке, который бежит наушничать Игнатию Савельичу на меня... Вы согласны?

— Просто мог быть простой разговор...

— Нет, извините, Илья Васильевич!.. Ох, как хорошо я знаю эти простые разговоры! Мне ведь приходится отдуваться за них. Да... Я вас задерживаю? Сейчас кончу. Всего одну минуту терпения. Мне хотелось бы знать, за кого вы меня считаете? Вот и смотрите на меня и думаете: «Мерзавец этот пан Копачинский...» Так?

Суходоев даже покраснел и в волнении заходил по своему кабинету. Нет, это уж слишком... Видал он всякие виды на своем веку, но такой случай выпадал на его Долю еще первым. Дельцу вдруг сделалось как-то совестно и 33 свою богатую обстановку, и за ошельмованного пана Копачинского, и вообще за всю ту грязь, которая окружала их обоих.

— Извините, нескромный вопрос: вы человек семейный? — спрашивал Суходоев, останавливаясь.

— Ах, да... — каким-то упавшим голосом залепетал пан Копачинский и полез в карман за бумажников. — Вот тут все... Жена мерла давно, но есть дочь Гедвига... она в институте... Боже, если бы она могла только подозревать.

Он подал Суходоеву несколько фотографий- Одна особенно была характерна: такое смелое и наивное женское личико с ясными глазами и тонким очерком носика и рта. Да это на стоящая польская красота... Подержав карточку в руках, Суходоев возвратил ее и сказал:

— Вы несчастный человек, пан Копачинскии. — У старика от этого теплого слова выступили слезы на глазах.

Инфлуэнца

(Монолог)

I

Самое смешное слово, какое мне известно, — это дама... Да. Я не могу удержаться от смеха каждый раз, когда его слышу, потому что дама — это я. Не правда ли, как это забавно? Давно ли я ходила в коротеньких платьицах и все называли меня Зиночкой, потом, в гимназии, я превратилась в Зинаиду Ремезову, а сейчас я — Зинаида Васильевна Книзева, — одним словом, постепенное превращение из гусеницы в бабочку. Я еще и сейчас попадаюсь иногда впросак, если встречаю кого-нибудь незнакомого: раз пять делала реверансы... Это я-то, Зинаида Васильевна!.. Ведь дамы не делают реверансов, и я ужасно краснею, особенно если виновник моего дамского положения налицо... Сеня ужасно смеется надо мной в таких случаях, и я чувствую, что начинаю ненавидеть его. Ведь это глупо мечтать, что именно благодаря ему я удостоилась такого титула: m-me Книзева. Если я его

люблю, так это еще не дает права думать о себе так много.

— Милая моя дама, сделайте реверанс! — смеется он.

Какое самообольщение! Точно я не могла сделаться дамой благодаря какому-нибудь Низеву, Изеву и т. д. Мужчины не понимают и никогда не поймут, сколько обидного в этой невинной комбинации, потому что всегда думают только о себе и во всем видят только самих себя. По моему мнению, это зависит вроете от грубости мужской натуры, в чем я убедилась личным опытом. Мужчины просто притворяются, когда приходят в восторг от стихов, восхищаются чудной картиной природы или повторяют глупые нежности любимой женщине. Я это наверное знаю, я убеждена в этом глубоко. Что такое мужчина? Грубый реалист, для которого нет ничего святого, печальная необходимость, с которой роковым образом связала женщин мачеха-природа, и вообще, говоря откровенно, самое грубое животное... Позвольте, я, кажется, впадаю в пессимизм, а это совсем нейдет ко мне, как уверяет Сеня. Заметьте, какое вульгарное

имя: Сеня. Оно меня сначала приводило в полное отчаяние, потому что не поддавалось никаким ласковым уменьшительным — Сеня, Сенечка, и только. Попробуйте поместить такое имя в любовное стихотворение, и вам захохочут в лицо. Я даже не могла привыкнуть к этому вульгарному звуку, пока не родился мой первенец Вадим, и теперь я представляю моего мужа так: папа моего Вадима.

— Семен Семеныч Книзев, — рекомендуется муж уже сам.

Для меня муж сейчас больше всего отец моего Вадима. Да... Отец и мать — вот святые слова, ради которых прощаешь даже грубость мужчин и несправедливость природы.

Все, что я сейчас говорила, к делу не относится и сорвалось так, между прочим, a propos des bottes[336]. С Лучше всего, если все это останется между нами... Не правда ли? Разве вы можете отказать просьбе дамы?..

Итак, я дама, я жена, я мать, а со временем буду, несомненно, бабушкой и, таким образом, завершу тот роковой круг, который начертила рука природы. В скобках: Сеня не выносит подобных фигуральных выражений,

как «рука природы», разве есть у природы руки? Должна признаться, что раньше я смотрела на жизнь довольно легкомысленно, как и всякая другая женщина на моём месте. Мне хотелось веселиться, прыгать, радоваться... Но появление Вадима сразу открыло мне существование другого мира, новых интересов и великих целей. О, милый ребенок, если бы только он знал, сколько счастья он принес с собой!.. Раньше, например, я, конечно, любила папа и maman, любила инстинктивно, но не понимала хорошенько, что значит слово «мать». Да... Нужно вынести все материнство с его болезнями, бессонными ночами и святыми заботами, чтобы оценить и понять все. Я еще никогда так не любила maman, как в момент своего собственного материнского счастья. Милая, дорогая maman... Я стала поверять ей решительно все, что происходило со мной, и как она понимала меня, как любила моего Вадима!.. Доходило до смешного, когда maman принималась ревновать меня к собственному ребенку и даже хотела отнять у меня Вадима под предлогом, что я не сумею его воспитать. Все бабушки, вероятно, одина-

ковы, и я от души ее пожалела: мой ребенок пробудил в ней заснувшее материнство. Папа — так тот совсем другое дело: он даже подсмеивался.

— Ты, Зиночка, думаешь, что на свете только всего и есть один ребенок, что твой Вадим, — говорил он. — Успокойся... Таких ребятишек миллионы. Я недавно читал в газете, что каждую секунду где-нибудь родится человек и каждую минуту где-нибудь другой человек умирает. Да...

Нет, уж позвольте, я не согласна: пусть родятся и умирают миллионы людей и еще раз родятся, а Вадим все-таки один, и другого такого нигде нет. Таких ребятишек миллионы — благодарю покорно... У папа скверная привычка дразнить меня, и я серьезно побранилась с ним. Но это не мешает ему быть прекрасным человеком, и другого такого папа нет, как другого Вадима. Папа и maman — образцовая супружеская чета, и я с ужасом думаю о том моменте, когда кто-нибудь из них умрет первым. Ужасно!.. Прожить целую жизнь и потерять любимого человека... Никакая заслуга, никакая жизнь не спасет от этого

рокового конца, и я даже раза два плакала, когда думала, что все это должно случиться в свое время, и в свое время умрем и мы с Сеней, и умрет наш Вадим. Ведь жизнь, в сущности, ужасная вещь, и нас спасают от отчаяния только наши ежедневные заботы и наше легкомыслие. Когда молодые стоят под венцом, они не думают, что который-нибудь из двоих должен будет оплакивать другого. Нет, все это слишком грустно, и я не хочу об этом думать: будет то, что будет.

II

Через год после Вадима родилась у меня дочь Ольга. Сын да дочь — красные детки, как говорит моя нянька Петровна. Признаюсь, что второй ребенок не произвел уже такого впечатления, как первый, хотя я и желала иметь девочку. Дело в том, что наши самые лучшие, святые чувства переплетены самыми прозаическими соображениями, вроде того: а что, если каждый год новая семейная радость? Положим, Сеня ничего подобного не говорит, но это не мешает мне чувствовать недосказанную мысль. Ему и меня жаль, и средства у нас небольшие. Бедная моя девоч-

ка — она принесла с собой первую заботу. Но я чувствую себя хорошо и готова для детей идти на все. Одна maman понимает меня и несколько раз повторяла между прочим:

— Ты не беспокойся, Зиночка, мы будем помогать.

Милая maman, как она необидно умеет все сделать!.. Я начинаю ее просто боготворить. Такая добрая-добрая, милая-милая... Папа, по обыкновению, подшучивает надо мной и говорит, что нам с Сеней необходимо прочитать теорию какого-то Мальтуса. Наверно, этот Мальтус был нехороший человек, и я инстинктивно чувствую к нему отвращение. К чему тут Мальтус, когда мы так счастливы с Сеней и без него!

Одна неприятность никогда не приходит: Сеню перевели на службу в другой город. Мне это особенно больно потому, что пришлось расстаться с папа и maman еще в первый раз. Сколько было слез, когда мы расставались... Мне было так жаль maman, которая теперь все думает обо мне: как я, да что я, да здоровы ли дети. У меня далее есть какое-то дурное предчувствие, хотя я и не выдаю его, чтобы не

показаться смешной в глазах хотя того же Сени. Показаться смешной — это наш общий недуг, в жертву которому мы готовы принести все. Впрочем, я дала себе слово, что буду каждый день писать maman хоть несколько строк. Из моих писем впоследствии составится настоящий дневник, и мне самой лет через двадцать будет интересно проверить себя по нему. Что-то будет через двадцать лет, когда Вадим и Ольга вырастут совсем большие? Даже страшно думать об этом. Вадим будет тогда двадцати одного года, тогда как его maman исполнится только нынешней осенью двадцать. Право, это смешно. Жаль, что maman не может отвечать на каждое письмо: ей некогда, да она что-то и прихварывает. Папа мог бы, конечно, писать, но он вообще ненавидит писаную бумагу. У него всегда готово какое-нибудь обидное словечко, как и в данном случае. «Пожалей почтальона, который должен приносить каждый день твое письмо, — пишет он. — У бедняги, как я подозреваю, тоже есть своя семья, и благодаря твоему рвению ему не остается времени поцеловать жену». Однако как скоро бедный папа

раскаялся в этих словах... Шутка вышла самая неудобная. Случилось... Нет, перо выпадает из моих рук, и я не могу написать рокового слова. Да и до сих пор я сама еще не верю случившемуся несчастью, которое просто несправедливо.

Maman собралась в великий пост навестить меня и все откладывала свою поездку за разными недосугами. Мы не видались целых два месяца, и можете себе представить, с каким нетерпением я ждала maman. Два раза назначался срок отъезда и два раза отменялся. Наконец получаю письмо: maman больна... Помните, что я говорила вам о предчувствии? Забираю своих ребятишек и лечу. Дорогой на меня напал какой-то страх — спять дурное предчувствие. Maman я нашла в постели. Она так изменилась, что я первую минуту ее даже не узнала. Бедняжка, чтобы успокоить меня, приветливо улыбалась... Разве мужчины способны на что-нибудь подобное?

Нет, решительно дальше я не могу писать... Это какой-то тяжелый сон, от которого я не могу проснуться до сих пор. Неужели maman умерла на моих руках? Неужели я не

услышу ее ласкового голоса? Мне и сейчас кажется, что вот-вот она войдет в комнату, обнимет меня и скажет: «Дурочка моя, все это был дурной сон!» Да, сон, от которого не просыпаются. Я не могу помириться с мыслью, что maman нет. Это так дико и нелепо, что я каждый раз вздрагиваю. Нет, она здесь, около меня, я это чувствую и в этом глубоко убеждена. Милая, дорогая, хорошая... А папа?.. Он сходил с ума и рвал на себе волосы, он говорил такие ужасные вещи, от которых у меня волосы поднимались дыбом.

— За что? — повторял он, сжимая кулаки. — Почему другие женщины живут? Миллионы женщин... И как живут?! В бедности, в нищете, в разврате! Нищие живут, а она умерла... Нет, это несправедливо!..

Это было бурное мужское горе, которое не давало мне времени подумать о себе: и в самом горе мужчины остаются эгоистами. Конечно, я тогда этого не думала, а утешала отца теми жалкими словами, какие говорятся в таких случаях. Он на время стихал и смотрел на меня удивленными глазами: он привык видеть во мне девочку, которая не поймет

большого горя. Нужно сказать, что папа отличался некоторым эгоизмом, никогда не молился и о религии отзывался довольно свободно. Но тут он точно проснулся и заставлял меня молиться вслух: это было последнее доброе дело maman — она раскрыла в последний раз очерствевшую в житейской прозе душу. Мы тогда много и откровенно говорили с отцом, который оказался совсем не таким, каким я его представляла себе: с него точно спала какая-то кора. Он говорил со мной, как с другом.

— Да, жизнь — великая тайна, Зиночка, — повторял он, качая головой. — Мы не знаем ничего и можем только плакать...

И он плакал, горько плакал, припоминая разные мелкие случаи, когда он был несправедлив к maman: засиживался подолгу в гостях, горячился, ворчал — одним словом, все то, что делают все мужья во всех широтах и долготах. Сеня любит иногда повинтить и раза два вернулся домой в четыре часа утра. Теперь он почувствовал угрызения совести и шепнул мне:

— Зиночка, этого никогда не будет больше.

В переводе это значило, что ведь и ты можешь умереть, как maman, и я не желаю тебя обижать. Он вообще отнесся ко мне с особенной нежностью и ухаживал за мной, как в медовый месяц. Это опять maman, все maman и везде maman... А папа просто не отходил от меня, как маленький: так и заглядывает в глаза. Вот что значит настоящее, искреннее горе, которое всех делает лучше. Перед отъездом папа отвел меня в сторону и шепнул:

— Голубчик, извини меня... Помнишь, я тогда писал тебе о твоих ежедневных письмах к матери? Как это было глупо с моей стороны, и как я жестоко наказан теперь за свое легкомыслие...

III

Можно представить себе отчаяние папа, когда нам пришлось расставаться с ним, чтобы ехать домой. Что может быть ужаснее одиночества?

— Я чувствую себя заживо погребенным, — повторял он на прощание. — У меня нет будущего... Да и для чего жить?..

Одним словом, произошла самая раздирательная сцена. Я не могла говорить от слез, и

мой Сеня даже рассердился. Это вышло очень оригинально... Я не могу сочувствовать горю родного отца, как это вам понравится? Хорошо. Это была наша первая размолвка.

— Слезами все равно не поможешь, — ворчал Сеня. — Наконец, и мы с тобой когда-нибудь умрем. А вот ходить с красными глазами нехорошо. Наконец, у нас есть свои дети, для которых мы должны поберечь свое здоровье.

— А я скажу тебе на это вот что: один греческий философ горько оплакивал умершего друга, и друзья заметили ему так же, как сейчас это сделал ты: зачем плакать, когда слезами не поможешь? Философ ответил: «Оттого-то я и плачу, что ничем не верну моего умершего друга».

— Черт бы взял этих всех дураков-философов!..

— Нет, извините, это нам рассказывал в гимназии учитель истории, и мы все плакали.

— Ну, так и ваш учитель...

Прекрасная сцена, не правда ли? А мужчины спорят тем отчаяннее, чем они виноватее, так было и в данном случае. Мне тяжело

вспоминать про эту первую семейную сцену, в которой вырисовывались, с одной стороны, святая любовь дочери, а с другой — чисто мужской эгоизм. Я стала даже, кажется, меньше любить моего Вадима: ведь из него со временем вырастет такой же эгоистище, как и его папа. Какой удар для материнского любящего сердца!.. Да, жизнь есть компромисс, и приходится мириться на каждом шагу с несправедливостью.

Единственным моим утешением оставались только письма к папа, бедному, одинокому папа. Говоря между нами, я даже боялась, как бы он не кончил самоубийством. Что было делать? Опять полетели ежедневные письма, но не к maman, а к нему, и я нарочно показывала каждое письмо Сене. Мне хотелось его позлить: смотри, вот как любит женское сердце!.. Папа тоже смеялся надо мной (припомните остроту о почтальоне, которому некогда поцеловать жену) и раскаялся, и мой Сеня тоже раскается, когда меня не будет на свете. Последняя мысль навела меня на самые грустные размышления. Если разобрать, так жить на свете решительно не сто-

ит: очень уж много хлопот. Конечно, я тщательнейшим образом скрываю свой пессимизм и от папа и от Сени, но все-таки становится грустно. А время так и бежит... Давно ли, кажется, не стало maman, а между тем скоро уже год. Да, целый год... Папа отвечает мне все реже и реже, что обозначает нарастающее спокойствие: острое горе уже миновало. Наконец он совсем замолчал, что меня ужасно встревожило: целая неделя прошла, вторая, третья — нет письма. Посылаю телеграмму — отвечает, что жив и здоров и что «подробности письмом». Получаю и письмо, в котором всего несколько строк и никаких подробностей: некогда — вечная мужская отговорка. Но я чувствую, что во всем этом что-нибудь кроется, и написала отцу, что очень соскучилась об нем и решилась навестить его вместе со своими ребятишками, а было бы еще лучше, если бы он приехал к нам. Ответ получаю телеграммой: «Пожалуйста, не езди и пощади себя и своих детей — у меня инфлуэнца». Вы, конечно, понимаете, что я сделала: сейчас же отправилась в дорогу, оставив детей на попечение Сени. Сама я решительно

ничего не боялась, потому что долг прежде всего. Что меня удивило и огорчило перед отъездом, так это поведение мужа: он и не отговаривал меня, и не сочувствовал, и вообще держался как-то странно. Мне показалось даже, что он потихоньку от меня улыбался: это уж из рук вон! Для этого эгоиста умирающий отец кажется смешным!

Можно себе представить, с какими чувствами я ехала к папа, который сейчас составлял для меня все на свете? Может случиться, что я больше и не увижу его... Эта мысль заставила меня рискнуть, и я ехала всю ночь, чтобы не потерять напрасно ни одного часа. Наконец вот и он, родной город, знакомые улицы, наша гимназия, театр и напротив театра наш дом. Было всего часов восемь, и я едва дозвонилась. Прислуга была новая и приняла меня, как чужую.

— Где папа? Проведите меня к нему...

— Обождите-с... Они сейчас... — бормочет какая-то вертлявая горничная, — Они сейчас... Я доложу...

Что такое? Или я с ума начинаю сходить, или эта особа сумасшедшая. Кое-как раздева-

юсь в передней и прямо иду чрез гостиную в кабинет к папа, но не успела я сделать нескольких шагов, как меня точно что кольнуло в самое сердце... На кресле стояли прелестные женские туфельки, а на столе валялась бальная дамская перчатка на двенадцать пуговиц. Туфли могли предназначаться мне, но перчатка... Она, очевидно, была забыта здесь.

— Мадам, вы не беспокойтесь: они сейчас будут... — уговаривала меня горничная, наслаждавшаяся моим смущением.

Я была уничтожена, убита и не могла сказать ни одного слова. Потом все у меня точно завертелось в глазах, и дальше я решительно ничего не помню. В голове, как маятник в часах, стучало одно слово: инфлуэнца, инфлуэнца, инфлуэнца!.. Так вот в чем дело, милый папа... В кого же и во что остается верить после этого? Ваше горе было таким же притворством, как ваша болезнь... О, я ничему, ничему, ничему не верю!.. Я переживала такое чувство, как будто сама умирала... Очнулась я только дома у себя в постели. Надо мной сидел мой собственный Сеня.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — с деланной заботливостью спросил он.

— А ты надеялся, что я умру?

— Зиночка... Извини меня, но я не виноват, что твой отец делает глупости: он действительно женится, и теперь, вероятно, уже женился... на семнадцатилетней девчонке... Это уж, действительно, того...

— Договаривай: что «того»?

— Болезнь, инфлуэнца!..

Дорогие гости

(Эскиз)

I

В казачьей станице Веселый Куст уже три дня готовились к приему дорогих заграничных гостей. Станица разметала свои избенки у подножия горы Караульной, отрога Общего Сырта. Кругом — ни кустика, ни былинки, и только старые громадные пни по скату горы свидетельствовали, что здесь когда-то стоял громадный сосновый бор. Башкиры его берегли не одну сотню лет, но надвинувшаяся «казачья цивилизация», как выра-

жался горный инженер Черноногов, не согласилась с его существованием и свела все до последней веточки. Станичные старички и старушки еще помнили столетние сосны, куда ребятами бегали за грибами, а теперь от бора остались одни пни, точно гнилые зубы. Да, прежде всё было: на горе стоял бор, под горой протекала горная речка Незамайка, в речке было видимо-невидимо рыбы и т. д. Когда вырубили бор, Незамайка пересохла, а рыбу выловили дотла еще раньше. Одним словом, дыхание казачьей цивилизации сказывалось на всем.

Сама по себе казачья станица, как и все казачьи станицы, ни издали, ни вблизи ничего привлекательного не представляла, кроме казачьего убожества и непокрытой бедноты. Избенки крохотные, кое-как стороженные из березы и осины, крыши соломенные. Единственная станичная улица заменяла собою помойную яму и место свалки всякого домашнего сора и не просыхала даже в самое жаркое лето. Лучшая изба — сравнительно, конечно, как и все на свете, — принадлежала станичному атаману Кузьме Псалму. В ней

сейчас помещалась главная контора золотых промыслов Мутных и К°. Приски были разбросаны в верховьях Незамайки и по ее притокам.

Сейчас в конторе находились сам хозяин Егор Никитич, седенький старичок с козлиной бородкой, выбившийся в золотопромышленники из простых рабочих, и горный инженер Черноногов, полный, упитанный господин за сорок лет, с красным носом и красивыми глазами навыкате. Хозяин все сидел у окна и угнетенно вздыхал, а Черноногов все время придумывал, что бы ему съесть, благо всевозможных закусок было заготовлено достаточно.

— Если взять сардинку и посыпать ее зеленым сыром, — думал вслух Черноногов, — да прибавить костяного мозга, да поджарить испанского лучку, да гарнировать фаршированными оливками...

Он закрывал глаза, чмокал жирными красными губами и безнадежно махал затекшей от жиру короткой рукой.

— Егор Никитич, что же это будет, а? — спрашивал он, охваченный съедобным изне-

можением.

— Надуют эти самые французы — вот что и будет, — ворчливо отвечал Мутных. — И что это тебе только далась эта самая еда?

— Еда? Ах, ты, сыромятный человек... Да в еде вся сила! Не понимаешь? Вот ты наешься своего студня из бычьих ног, нахлебаешься редьки с квасом, наешься зеленого лука — сидеть с тобой рядом нельзя. А тут приедут люди культурные. Одним словом, цивилизация... Все-таки не понимаешь?

— Чего тут понимать? Такие же люди, как и мы грешные... У них свой закон, у нас свой. Только и всего...

Черноногов возмущался. В молодости он был раза два в Париже, когда там пела Жюдик[337], и считал себя специалистом по части заграницы. Ни одного спектакля с m-me Жюдик не пропустил и пообедал во всех лучших ресторанах.

— Французы — самый веселый народ, — объяснял он, — Только французы умеют веселиться и жить вообще. Мы дикари... Да, настоящие дикари... И потом... да... Да что тут говорить, все равно ничего не поймешь! Кста-

ти, где Кузьма?

— Сам же ты его послал за этой киргизкой.

— Ах, да. Красавица эта Макэн... А французы любят красивых женщин и знают в них толк.

Мутных вскакивал, начинал бегать по комнате и отплевывался.

— Грешно это, Антон Павлыч, да. Не стало тебе по станицам казачек? Нет, подавай ему нехристь... Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Да я и куска в рот не возьму, когда она будет в избе... Не хочу греха на душу брать. Да...

— Опять не понимаешь ничего... Ведь это настоящий шик: этнографическая горничная... Ха-ха!.. Живая этнография, понимаешь?

— Она и в избе будет в шапке ходить. Подумать-то, так тошно.

— Глупости. Мы этой этнографией так сразу и придавим милейших наших французов.

— Ох, горе душам нашим! Только что и будет... Не отмолишь потом грехов-то.

— Вот продадим приски, тогда и молись, сколько душе угодно...

— Что-то от Введенского нет письма.

— Что ему писать — он ждет французов в

Златоусте. Срочная телеграмма из Парижа получена еще на той неделе.

— Ждет-то он ждет, а я до смерти боюсь этих самых обвокатов... Увертливы уж очень.

— Есть чего бояться... Мы сами кого не обманули бы.

— Ох, продаст он нас, — стонал Мутных.

— У нас условие...

— Да ведь условие-то он сам же писал. Да... Он и с нас сдерет и с французов сдерет...

Дело шло о продаже промыслов французской анонимной компании, представителей которой ждали сейчас в Веселом Кусте. Простой приисковый старатель из раскольников, Мутных случайно разбогател и сделал целый ряд новых заявок. Но разрабатывать их у него не хватало денег, и заявки пустовали. Чтобы вывернуться, Мутных затеял устроить компанию и сразу попал на таких компаньонов, как горный инженер не у дел Черноногов и провинциальный адвокат Введенский. Мутных хотел убить двух зайцев разом: и горный инженер и адвокат были люди нужные по своим специальностям. Но оба компаньона оказались на беду полными бессребреника-

ми, и Черноногов весело отшучивался на эту тему.

— Я себя считаю на золотую валюту, — оправдывался он. — Счет на серебряные рубли не для меня... Я стою выше предрассудков.

Единственным выходом из этого положения для Мутных являлась продажа промыслов. Иностранцы за последние годы просто наводняют Урал своими капиталами, и Введенский предложил устроить продажу. Дело было аховое, и Мутных действительно трепетал за собственное существование.

Атаман Кузьма Псалом явился рано утром. Он ехал на мохноногом рыжем иноходце, а за седлом боком сидела Ма-кэн, очень красивая девушка-киргизка, в серой мерлушчатой шапке и в пестром шелковом бешмете.

— Вот какую птаху привез... — объяснял атаман, спешиваясь. — Сам бы ел, да деньги надо.

В наружности атамана ничего атаманского не было. Самый простой мужичок с песочной бородкой и кривой на один глаз. В качестве станичного начальства он ничего не делал и только выискивал даровой выпивки. И

сейчас он был под хмельком, хотя и держался в седле крепко.

Черноногов сделал Макэн настоящий солдатский смотр. Девушка улыбалась, показывая два ряда чудных зубов. Это была настоящая степная красавица, с таким тугим степным румянцем и шелковым загаром.

— Я думал, что тебя отец не отпустит, — говорил Черноногов, довольный осмотром.

— Отчего ему не пускать? — ответила девушка. Она говорила бойко по-русски, — Я не замужем...

У атамана Кузьмы Псалма была жена, рябая, костлявая баба, но Черноногов вперед выговорил условие, чтобы она не смела и носу показывать, когда приедут французы.

— Поверьте, я уж знаю, какой вкус у французов, — уверял он. — А твоя Дарья, Кузьма, все дело испортит.

II

От адвоката Введенского не было ни слуху ни духу, и Черноногов от нечего делать занимался воспитанием Макэн. Он учил ее, как нужно приготовлять постели, накрывать на стол, подавать кушанье и т. д. Для наглядно-

сти он сам усаживался за стол, изображая предполагаемого гостя-француза, и заставлял Макэн служить. Макэн оказалась понятливой девушкой, хотя и не могла отучиться от дурной привычки закрывать лицо широким рукавом своей татарской рубахи.

Прелестная дикарка... — думал вслух Черноногов, смакуя приготовленное для гостей вино. Нос у него краснел все больше и больше.

Мутных иногда наблюдал эту комедию в дверную щель и вздыхал все угнетеннее. Прямо бесовская потеха... Макэн он называл кобылятницей и не упускал случая устроить ей какую-нибудь каверзу. По его настоянию атаманиха водила Макэн в баню и мыла чуть не с песком.

Лошадью от нее так и воняет, — уверял Мутных. — Всю посуду перепоганит... Ах, Антон Павлыч, Антон Павлыч!.. Может, эти самые французы тоже кобылятину жрут. Еще похуже, чем кобылятину: лягушек едят, — уверял Черноногов. — А яйца едят засиженные, когда в них заведется цыпленок.

— Горе душам нашим!

— Сыр едят непременно с червями, а сандвичи приготовляют из дупелиного помета...

Собственно своя горная часть совсем не интересовала Черноногова. Все его мысли сосредоточивались на еде. А вдруг Введенский не привезет обещанного повара из Златоуста? Тогда все пропало. Меню Черноноговым было выработано с особенным старанием, причем главную роль играла «национальная идея». Например, московская рыбная жидкая селянка из харюзов? Что вы скажете на это? А ботвинья с уральским балыком и растегаями из налимьей печенки? А настоящий кавказский шашлык? А карась в сметане, поросенок с хреном, гурьевская каша, фаршированный калач, уха из живых налимов? Получалась настоящая артиллерия, и Черноногов торжествовал вперед. Для couleur locale[338] можно пустить сибирские пельмени и сибирские пироги с рыбой. Ну, а там уж повар должен знать специально французскую кухню — все эти бульоны, соуса, бифштексы, рагу и прочую дребедень. Черноногова убивала в этом отношении только мысль о салате. Для настоящего француза обеда без салата не существу-

ет, а где его возьмешь в Веселом Кусте? Конечно, Введенский захватит салат из Златоуста, но это обеспечение много-много на два дня, а дальше срам и позор.

— Ох, уж этот мне салат! — повторял он, ломая руки.

Кузьма Псалом был свидетелем этого отчаяния и только чесал в затылке.

— Боже мой, а о шампиньонах я и забыл! — чуть не плакал Черноногов. — Французы признают только два гриба: трюфели и шампиньоны. Да…

— По-нашему, просто поганки, — заметил Мутных.

Наконец из Златоуста прискакал нарочный. Введенский писал на ресторанном счете, что французов приехало трое. Они передохнут один день, а потом отправятся в Веселый Куст. По расчетам Черноногова, триста верст можно было проехать в одни сутки с небольшим. На счастье, погода стояла прекрасная.

— А о салате ни одного слова! — стонал Черноногов, — Зарежет меня злодей! Вся моя этнография к черту полетит.

Но в назначенный день французы не приехали, и Черноногов с горя напился с Кузьмой Псалмом. Ожидание было самое томительное.

Гости не приехали и на следующий день. Черноногов не знал, что и думать. Не случилось ли дорогой какого-нибудь несчастья, а то, может быть, Введенский мог допустить какую-нибудь ошибку. По-французски он говорил, как собаки лазают через забор, и по части тонкости обращения тоже плоховат. Еще проврется что-нибудь.

Черноногов спал, когда наконец гости приехали. Макэн попробовала его будить, но безуспешно. Когда он проснулся утром, Макэн, улыбаясь, объяснила ему:

— Она приехала…

— Кто она?

— А гость…

— Как приехала?!

— На лошадях приехала.

— Вот тебе и фунт… А где Введенский?

— Она спит.

— Ты смотри, не разбуди гостей…

Макэн только засмеялась.

— Она давно ушла, — объяснила она, указывая рукой в сторону гор. — Вся троя ушла... и Егор ушла...

Черноногов в отчаянии схватил себя за волосы. И во всем виноват этот идиот Введенский... Он бросился к нему в избу, разбудил и напустился на него с пеной у рта:

— Зарезал, разбойник... зарезал!

— Нет, ты меня зарезал, — оправдывался Введенский. — Во-первых, тебя не могли ночью разбудить — раз... а потом эта твоя этнография... Представь себе, те заходят в комнату, она здоровается с ними за руку да еще улыбается, каналья. Французы приняли ее за мою жену... Веселенький пейзажик получился.

— Но ведь меня могли разбудить рано утром, чтобы проводить их.

Адвокат, полный, с седеющей бородкой господин, потянулся, сладко зевнул и спокойно ответил:

— Ну, это напрасно... Их тоже не следует баловать. Народ такой, знаешь...

— Какой?

— А черт их разберет... Мне кажется, что

они притворяются. Представь себе, не могут ехать в нашем тарантасе, а подавай им рессорный экипаж... Ну, три дня и тащились триста верст... Намаялся я с ними порядочно.

— А салат? — вспомнил Черноногов.

— Спроси у повара... Я совсем забыл о твоем салате.

Черноногов изобразил статую немого отчаяния. Забыть салат?! И это называется дело делать... А еще адвокат! Все дело начинало проваливаться...

Черноногов наскоро умылся, наскоро выпил «заказную» утреннюю рюмку водки, чтобы заморить червячка, сделал необходимые распоряжения подлецу-повару, которому сказано было о салате и который забыл о нем второпях, и потащил Введенского на прииск.

— Я-то что буду там делать? — ворчал адвокат, любивший покейфовать за самоваром. — Это уж твое дело...

— Нет, брат, пойдем. Ты меня представишь...

Было уже часов десять, когда они отправились на Незамайку. Во дворе стояли дорожные тарантасы, а около них ходил Кузьма

Псалом, чувствовавший влечение, род недуга, к каждому экипажу. Черноногов надел для неизвестной цели охотничьи сапоги, захватил палку со стальным молоточком и даже бинокль. Введенский, покряхтывая, шел за ним в летней чесучовой паре.

— Эх, планы-то я и забыл! — спохватился Черноногов, когда они подходили уже к караульной.

— Планы у них, — коротко объяснил Введенский. — Не беспокойся, они не забудут, как мы с тобой.

До первого Аристарховского прииска было версты четыре, и Введенский ворчал, жалуясь на свои городские летние башмаки. Французы были уже на прииске, очевидно, проверяя межи под руководством Мутных.

— Высокий седой старик с бородой — это и есть хозяин, — объяснял Введенский. — M-r де Круа... А рядом с ним толстенький бритый старичок — его помощник, m-r Жобель. А худенький молодой человек — горный инженер, m-r Лудье. Тебе с ним придется иметь дело...

Знакомство произошло какое-то странное.

M-r де Круа едва протянул Черноногову два пальца и сейчас же обратился к Введенскому за разъяснением какой-то неточности в плане. M-r Жобель оказался гораздо любезнее, хотя невольно бросалась в глаза его странная привычка следить за каждым движением хозяина. Впрочем, так же делал и m-r Лудье.

— У них, брат, солдатская субординация, — объяснил Введенский, подмигивая Черноногову. — Вот этот черномазенький — горный инженер, а в присутствии хозяина не смеет сесть. Старик держит их в ежовых рукавицах.

— Меня он, кажется, принял за приказчика или что-нибудь в этом роде? — уныло догадывался Черноногов сразу потерявший присущую ему юркость.

— У них, брат, там свои порядки.

Пока шел самый подробный осмотр Аристарховского прииска, m-r де Круа не обращал никакого внимания на Черноногова и самым обидным образом не замечал его присутствия и даже не отвечал, когда он вставлял какое-нибудь замечание. Черноногов под конец обиделся.

— А, черт... — ворчал он себе под нос. — А

еще считается самой вежливой нацией.

— А ты заметил, как он два раза посмотрел на твой красный нос? — шутил Введенский.

— А ну их к черту...

III

Огорчения не приходят, как известно, в одиночку, а семьями. Все надежды Черноногова заключались по части желудка дорогих гостей, ко и тут он потерпел полное фиаско. Этнографической кухни они не понимали и ели только бульон с гренками, яйца и бифштекс. К «французским» винам отношение было тоже самое обидное. Впрочем, m-r Жобель хотел было выпить вторую рюмку русской водки, которая ему очень понравилась, но m-r де Круа строго на него посмотрел и еще строже проговорил:

— M-r Жобель, нельзя... Мы приехали сюда работать, а не пить русскую водку.

Это уже было нахальство, возмутившее Черноногова до глубины души. Что же это такое, в самом деле? Ведь, кажется, m-r Жобель не мальчик и может себе позволить вторую рюмку... Вообще старик де Круа возмущал

своим поведением на каждом шагу. Держал он себя совершенно неприступно, едва удостаивая ответом. По части французской любезности было совсем плохо, что доставляло Введенскому большое удовольствие.

— Ты-то чему радуешься? — накидывался на него Черноногов с пеной у рта. — Кажется, мы ни в чем не можем себя упрекнуть по части любезности... А если они держат себя скотами, то ведь я не виноват. Я сам приготовлял ботвинью, а старик взял в рот одну ложку и выплюнул. То же и с расстегаями и с пельменями...

Весь образ жизни дорогих гостей представлялся Черноногову одним сплошным оскорблением, начиная с того, что французский день начинался розно в шесть часов утра. Вечером все отправлялись спать по команде в десять часов. Не могло быть и речи о том, чтобы посидеть за столом часиков до двух утра, поесть хорошенько и лихо выпить. Черноногов привык вставать в одиннадцать часов утра, а тут должен был подниматься тоже в шесть, чтобы сопровождать гостей на промыслы. Они все хотели видеть, исследовать

лично и проверить. Происходили прекомичные сцены. Французы самым тщательным образом проверяли каждый прииск, поскольку он соответствует планам. При такой позерке случился курьез: двух приисков, нанесенных в план, не оказалось, а третий прииск оказался вне всякого плана.

— Странно... Это очень странно, — повторял m-r де Круа, рассматривая красный нос Черноногова с особенным вниманием.

— План составлял не я, а горное правление, — оправдывался Черноногов. — Во-вторых, не мог же я спрятать в карман эти дурацкие два прииска.

— И все-таки странно, — невозмутимо повторял m-r де Круа, делая гримасу.

— Ну, наконец, это ошибка!

— В деле не должно быть ошибок...

Как оказалось, о границах своих владений у всех компаньонов оказались довольно смутные представления. Мутных только вздыхал, разводил руками и ссылался на свою безграмотность.

— Странно... Очень странно, — повторял m-r де Круа, пожимая плечами, — Вы спроси-

те у m-r Жобель, он укажет вам то, чего вы не знаете...

Ровно в двенадцать часов французы завтракали, потом отдыхали, а в два часа опять уходили на работу до восьми часов вечера. И так каждый день... Даже Введенский, смотревший на все и на всех с иронией, и тот заметно приуныл.

— Это черт знает, что такое! — ругался Черноногов. — Они все жилы вымотают из живого человека...

— Да... того, вообще...

В течение двух недель работы на приисках были закончены. Все границы определены в точности, m-r Жобель составил свои собственные планы, а m-r Лудье устроил что-то вроде минералогического кабинета. Месторождение всех золотоносных россыпей было исследовано самым точным образом, во всех деталях. Но все это были только подготовительные работы, а настоящее исследование горных пород и песков должно было произойти в специальной лаборатории в Париже.

— А мы-то все на глаз делаем, — удивлялся без конца Мутных, почесывая в затылке. —

Ну и французы!.. Вот это так грамотные, охулки на руку не положат. Недаром у них денег куры не клюют... Душеньку вынули, прямо сказать. А главное — в аккурате себя содержат.

Своими впечатлениями Мутных делился главным образом с атаманом Кузьмой, который вполне ему сочувствовал.

— Я так полагаю, что эти самые французы из военных, — соображал Кузьма. — Очень уж строго себя содержат... Из антилерии, не иначе.

— А моим-то компаньонам как они хвост прижали! — злорадствовал Мутных. — Хоть матушку-репку пой.

— Вполне прижали... Антон-то Павлыч вон даже похудел из себя и напивается в одиночку.

— Они, брат, выучат, как жить на белом свете. А мы-то сдуру: французы, деньги у них шальные и прочее такое несообразное. А у француза каждый пятак двухвершковым гвоздем приколочен... У нас по старой вере крепко живут, а они себя попревосходнее оказали...

Черноногов не мог выдержать до конца двухнедельного искуса и последние четыре дня сказывался больным, несмотря на все увещания Введенского. Он лежал в избе и плевал в потолок.

— А черт с ними со всеми! — ругался он. — Это какие-то выжиги. Золото ищут, как бежавшего с каторги преступника... Нет, брат, шалишь. Ищи, хоть лопни...

Введенский только махнул рукой. С горя Черноногов напивался каждый день, приглашал Макэн и заставлял ее петь киргизские песни.

— А вот назло *им* возьму да и женюсь на тебе, Макэн, — говорил он. — Пойдешь за меня, орда?

— Нет, — отвечала Макэн не без кокетства. — У меня есть жених лучше тебя...

Накануне отъезда m-r де Круа «позволил себе» просидеть за ужином часов до двенадцати и даже разговорился. M-r Жобель воспользовался моментом и позволил себе выпить вторую рюмку русской водки, причем от души пожалел, что m-r Черноногов не мог принять участия в общем пиршестве.

— Я в первый раз в России, — говорил m-r де Круа, — и невольно удивляюсь... да... Очень оригинальная страна. Никто не хочет работать... Да, странно...

Французы ранним утром уехали одни. Их провожал атаман Кузьма, сидевший на козлах молодцом. Черноногов видел в окно, как выехали со двора два тарантаса, и проговорил:

— К черту!..

Пришел Введенский и долго молчал.

— Ну, брат, Антон, и задали *они* нам баню.

— К черту! — рычал Черноногов.

— Нет, знаешь, оно того... Как это тебе сказать? Одним словом, мы вымирающие, ленивые, пьяные русские люди... Я это почувствовал в первый раз в жизни... да. Дикари.

— К черту!..

Ночь

(Эскиз)

I

— Они уже вышли... — сказал он, когда начало стемняться и в передней избе зажгли сальную свечу.

— Кто вышел? — спросил старик хозяин.

Он только опустил глаза и ничего не ответил. Приставать с расспросами к *нему* не полагалось. В избе царила тишина, нарушавшаяся только жалобным воем зимнего ветра в трубе. При *нем* никто не смел говорить.

Потом *он* встал и старческой походкой вышел в сени. Было слышно, как хлопнула дверь в заднюю избу, где была в боковушке устроена потаенная молельня. В избе продолжало царить молчание, потому что все знали, что *он* ушел молиться. Старуха-свекровушка, возившаяся у печи, старалась не стучать своими ухватами, сноха, молодайка Домна, закачивала на руках полугодового ребенка, чтобы он не закричал не вовремя.

Свекор Спиридон Агапыч сегодня был как-

то особенно суров и старался не смотреть ни на кого. Сноха Домна понимала, что он трусит. А вдруг наедут и накроют раскольничьего владыку Ираклия, которого уже давно выслеживают? Не пустил бы его к себе Спиридон Агапыч, да боялся идти против своего раскольничьего мира. И что ему вздумалось, владыке Ираклию, остановиться именно у него? Разве не стало других боголюбивых народов в Озерном?.. Труслив был старик. Он боялся даже собственного сына Ефима, который характером Уродился в мать. Со стороны это выходило даже смешно: отец был большого роста, плечистый и могутный мужик, а Ефим маленький, сутулый, безбородый. Но физическая сила находилась у обоих в обратно пропорциональном отношении с нравственной. Собственно, дом вела матушка-свекровушка, но и она поддавалась Ефиму, который забирал силу молча.

Владыко Ираклий несколько раз возвращался в среднюю избу. Он, видимо, не мог размолиться по-настоящему. Худенькое, изрытое оспой лицо, с козлиной бородкой и глубоко посаженными серыми глазками, было

полно тревоги. На вид ему можно было дать под шестьдесят, но в темных волосах еще не было даже признаков старческой седины.

— Едут... — бормотал он, поглядывая в окно.

— Да кто едет-то, владыко? — спрашивал свекор.

— А кому надо, тот и едет... Се жених грядет в полунощи.

У Спиридона Агапыча захолонуло на душе от этих темных намеков. Молодайка Домна отвертывалась от пристального взгляда владыки и делала вид, что укачивает ребенка.

Вошел Ефим, задававший на дворе корм скотине. Владыко Ираклий посмотрел на него так любовно и сказал:

— Ты бы погрелся, Ефимушко... Вон какая непогодь.

— Мы привычны... — ответил Ефим, снимая полушубок.

На улице поднималась вьюга. Ветер набегал порывами, обсыпая сухим снегом, точно его бросала невидимая рука. Старик каждый раз крестился и шептал: «О, господи милостливой!» Владыко Ираклий сидел в переднем

углу у стола и тоже вздыхал.

— Немощен человек, а лукавства в нем преизбыток, — думал он вслух, — И все думает сделать лучше для себя, лукавый-то. А нет горше греха, как предание — предателю несть покаяния. Да... Предатель-то тоже думает, што все лучше делает.

Владыко Ираклий усмехнулся с горечью, точно припоминая что-то далекое.

— А ежели предание по нужде? — спросил Спиридон Агапыч, прислушиваясь к завыванию ветра в трубе.

— Это одно мечтание... Такой нужды не бывает, а только наша душевная ложь. Отчего остуда, прекословие и неистовство? Сначала-то мы других предаем, а потом себя начнем предавать...

— Значит, по-твоему, владыко честной, все предатели?

— Все! — решительно ответил Ираклий. — Самое легкое предание, когда человек предает человека в руки человеков...

Это даже на пользу иногда бывает, когда человек в немощах силу обретает. Душевное злато ввергается в горнило... Ввергохом злато

в огонь, и излияся телец. Путь узок и тернист, а ходящие по нему сущи маловеры и малоумы.

Дальше владыко Ираклий заговорил о последних временах. Он говорил долго и убедительно и кончил тем, что начал обличать беспоповщину с ее подразделениями на десятки толков.

— Как гнилое мочало расщепляется без конца... гнилая нитка рвется на несколько частей... И хуже этого не может быть, как рознь и свара в своей семье. Аще и бес разделится на ся — погибнуть бесу тому, и дому погибнуть, у которого все четыре угла рубят и крышу снимают... Единение во множество в единении.

Старик даже прослезился, увлекаясь нарисованной картиной грядущего разрушения. Матушка-свекровушка тоже всплакнула, стоя у своей печки.

— Ну, я пойду... — проговорил Ираклий, заглядывая в окно. — Час мой уже близится...

Он опять ушел в заднюю избу, а за ним ушел Ефим. Спиридон Агапыч проводил их глазами за дверь и начал ворчать:

— И к чему он все это говорит?.. Как будто неладно, старуха...

— Ты бы уж молчал, Спиридон Агапыч, — довольно сурово отозвалась старуха. — Не нашего ума это дело...

— А вдруг ежели начальство? А вдруг за пристанодержательство поволокут? Ох, грехи, грехи...

II

Наступила ночь. Свеча в передней избе была потушена, но никто не спал. Домна прилегла, как всегда, на лавку у зыбки (люлька) и слышала, как на полатях ворочается старик. Свекровушка спала около печи на сундуке и тоже ворочалась с боку на бок. Из задней избы доносилось заунывное раскольничье чтение, точно гудел большой шмель.

«Ах, скорее бы...» — думала Домна, и ей делалось все страшнее и страшнее.

Она теперь припоминала каждое слово Ираклия — он все это говорил ей одной. Учуял, видно, что дело неладно. И никто его не понимает... Предателю, слышь, не будет прощения.

А мужа отбивать у жен — за это будет про-

щение? На Ломовском заводе кто увел в скиты пудлингового мастера Куркина? Ираклий... Теперь у Куркина осталась жена с махоньким младенчиком — ни баба, ни девка, ни вдова — на ком будет грех за нее? Сейчас Ираклий к Ефиму подбирается... При последней мысли Домна чувствует, как она начинает вся холодеть. Ей уже представлялось, как она останется одна-одинешенька в чужой семье с ребенком на руках, как ее будет донимать свекор-батюшка, как будет поедом есть свекровь-матушка. Она же и будет кругом виновата: мужа остудила, вот он и ушел в скиты, а ты майся с ребенком.

— Ах, скорее бы...

Домна чутко прислушивалась к каждому шороху на улице и на дворе, и ей несколько раз казалось, что кто-то подъехал, что слышны чьи-то осторожные шаги, что чьи-то руки нащупывают дверную скобу. Но это бушевала метель, такая же метель, какая бушевала в ее собственной душе.

Домна была из беспоповщинского толка, вышла за поповца Ефима. Очень уж крепко полюбился ей этот серьезный не по летам па-

рень. Пришлось для него бросить родную семью, которая проводила ее с проклятиями. Тяжелее горы родительское проклятие... Недолго порадовалась Домна, хотя и любила мужа без ума. Ведь других таких людей и на свете не бывает, как Ефим. Два года бабьего счастья промелькнули незаметно, а тут еще появился ребенок. Но и в самую счастливую пору Домна замечала, как Ефим начинал как будто задумываться и все чаще смотрел на нее какими-то удивленными глазами, точно спрашивал, зачем она здесь. Этот взгляд давил ее, точно камень.

— Что с тобой, Ефим? — спрашивала она.

— А ничего... так... грех...

— Какой грех?

— О душе своей не думаем — вот и грех. Только тешим свою скверную плоть...

— Какой же грех между мужем и женой?

— Ангелы не знают ни мужей, ни жен...

По зимам Ефим пропадал иногда на целую неделю и возвращался домой измученный, больной, со странно горевшими глазами. Домна потом уже узнала, что он проводил это время у Ираклия на покаянии. Ираклий скры-

вался где-то в скитах, в горах, куда к нему и сходились. Он вербовал себе самых лучших овец, и в число этих лучших попал Ефим. Раз он сказал жене прямо:

— Я скоро уйду в скиты, Домна...

— Тебя Ираклий сманивает?

— Не Ираклий, а совесть. Не могу больше терпеть...

— А как же я-то останусь?

— Ступай и ты в скиты...

— А ребенок?

— Ребенок останется у стариков...

Как ни плакала Домна, как ни умоляла мужа, Ефим стоял твердо на своем. У молодой бабы совершенно опустились руки... За что же такая напасть? За что разбитая жизнь? А тут еще на руках останется ребенок хуже сироты. Для Домны ясно было одно: именно, что заводчиком всего дела был владыко Ираклий. Да, он сманил не одного Ефима и будет сманивать других. У Домны явилась страстная жажда мести, Э, пропадать, так пропадать всем, а владыке Ираклию в первую голову, как хищному волку в овечьей шкуре. Случай ей помог привести этот план в исполнение.

Батюшка-свекор как-то проболтался о сроке, когда владыко Ираклий поедет из скитов на южные уральские заводы и что остановится у них, как показывал Ефиму. Старик трусил вперед и ворчал.

Домна воспользовалась этим известием по-своему.

Сейчас она лежала и ждала исполнения. И страшно до смерти, и жаль любимого человека, и грех перед богом, как говорил давеча сам Ираклий. А самое главное, стоило только ей сказать одно слово, и владыко Ираклий спасен, но именно этого слова она и не находила в себе. Ею овладела фатальная решимость: пусть будет, что будет.

Вьюга продолжала гудеть тысячью звуков. В одно время кто-то и хохотал, и плакал, и бежал, и подкрадывался, и дышал тысячью холодных пастей. Спиридон Агапыч даже садился на полатях и начинал креститься.

— О, господи милосливой!.. — шептал он, прислушиваясь к непогоде.

Наконец он не вытерпел. Прислушавшись, что все спят, он потихоньку спустился с полатей, надел валенки, полушубок, шапку и вы-

шел. В сенях он прислушался. Читал Ефим раскольничьим речитативом акафист богородице.

— Матушка пресвятая богородица, спаси и сохрани! — помолился старик про себя, осторожно выходя из сеней на крыльцо.

Двор был крыт наглухо, как строятся в этой полосе Урала, где лесу достаточно. Он ощупью прошел в конюшню, где были лошади, и в темноте начал обряжать старую белоногую кобылу. Лошадь его узнала и любовно терлась о его рукав своей угловатой головой. Захомутав ее, он осторожно вывел из конюшни и запряг в легкие пошевни на высоких копыльях, на каких ездят в горах по глубокому снегу.

«Вот так-то повернее будет, — думал он, стараясь не шуметь. — Чуть што, сейчас и изловим владыку. Ступай, ищи ветра в поле... Не впервой ему от никониан спасаться».

В задней избе продолжалась та же молитва. Заунывное чтение Ефима нарушалось только поправками, которые Ираклий делал наизусть — он знал каноны наизусть.

— ...радуйся многих согрешений проще-

ние... радуйся любы всяко желание побеждающи...

Был момент, когда Домна готова была броситься в заднюю избу, пасть в ноги владыке Ираклию и покаяться, но послышались шаги батюшки-свекра, и она убежала в избу. Прилегши на лавку, сна опять превратилась в один слух. «Ах, скоро все будет кончено...» Ее начинала бить лихорадка. Вьюга выла по-прежнему, и по-прежнему слышались голоса, подкрадывавшиеся шаги и чье-то жалобное причитание, как причитают по покойнике. Заслушавшись вьюги, Домна совсем не заметила, как в избу вошел владыко Ираклий, и чуть не закричала, когда он в темноте пощупал ее руками.

— Вставай... — шептал он. — Час уже приспел...

Она поднялась, чувствуя, как зубы выбивают барабанную дробь. Владыко Ираклий положил ей на голову обе руки, что-то шептал, а потом неожиданно поклонился в ноги.

— Прости, жено, мою твердость... *Они* уже близко... настало время... Не печалуйся, что через тебя принимаю узилище и душевные

раны... Иду на великий праздник неистового гонения... Я все знаю... Слышишь? Это за мной пришли...

Одновременно раздался сильный стук в ворота и в окно.

— Уходи скорее... — заговорила Домна. — Батюшка и лошадь запряг... А я их тут задержу.

— От воли божьей не уйдешь...

В избу вбежал испуганный Спиридон Агапыч и потащил владыку за рукав.

— Не нужно... Куда ты меня тащишь? — упирался Ираклий.

— Владыко, не погуби ты нас всех... Из-за тебя вся семья в разор пойдет...

Это доказательство подействовало. Спиридон Агапыч накинул на Ираклия свою шубу и шапку. Они осторожно вышли на двор и пошли к задним воротам, у которых стояла запряженная лошадь.

— Спустись на реку... — шептал хозяин. — А потом поверни направо... там выпадет тебе куренная дорога...

Спиридон Агапыч торопливо отворил ворота и сразу попал в руки четверых мужиков.

— Держи его! — громко крикнул кто-то. — Э, какой здоровущий архирей... Вяжи его, братцы!

— Братцы, да тут два архирея!.. — крикнул другой голос. — Этот совсем маленький...

— Вяжи и его на случай! Да ворота отоприте Пал Митричу... Сразу двух архиреев накрыли.

Через минуту вся передняя изба была занята понятыми и переодетыми стражниками. В переднем углу сидел знаменитый становой Пал Митрич, сухой и жилистый мужчина с рыжей бородой. Он потирал одно колено и говорил совершенно равнодушно:

— Ну и погодка... Настоящая волчья ночь. Который я раз тебя ловлю, владыко Ираклий?

Владыко Ираклий молчал, опустив глаза. Спиридон Агапыч совершенно растерялся. У него тряслись руки и ноги. За ним стоял Ефим и смотрел на станового спокойными строгими глазами.

— Да-да, погодка... — продолжал думать вслух Пал Митрич. — Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Д-да... Ну, а ты, сахар, что скажешь? — обратился он к Спиридону

Агапычу.

— Я его совсем не знаю, ваше высокое благородие... Это какой-то бродяга попросился переночевать.

— Так, так... Ну и погодка. Так ты его счел за бродягу? Отлично... Пожалел, что может замерзнуть? Превосходно, Так и запишем: добрый мужичок Спиридон.

Это издевательство заставило выступить вперед Ефима. Он тряхнул головой и заявил:

— Отец ничего не знает, Пал Митрич. Прикажите меня вязать, мое все дело...

Становой равнодушно посмотрел на него своими по-детски голубыми глазами и, мотнув головой стражнику, лениво проговорил:

— Завяжите и этого сахара узелком...

В ответ послышались глухие рыдания Домны.

Крупичатая

I

Вечер. Накрапывает мелкий осенний дождь, точно просеянный сквозь тонкое сито. По дороге медленно двигаются обозы. Бедные лошадки вязнут в липкой глине и едва тащат тяжело нагруженные телеги.

«И куда это только везут столько товару? — думала Афимья, шлепая по грязи. — Везут, везут, и конца-краю нет... А все в Торговище, на ярманку. Богатые московские купцы наехали теперь».

Идти пешком было тяжело, и Афимья делала частые передышки. У ней захватывало дух. А идти было нужно, чтобы поспеть в Торговище, пока еще на постоялом не заснули. От Притыки до Торговища трактом считалось двенадцать верст. Была и прямая дорога, лугами, но Афимья ночным делом боялась идти по ней: долго ли до греха, ярмарочное время, еще обидят как раз, а по тракту народ день и ночь валом валит. Собственно, Афимья боялась не за себя — что с нее взять, больной и старой, а за таскавшуюся за ней дочь, Соньку.

— Устала, Сонька? — спрашивала Афимья время от времени, и в ее голосе звучала какая-то боязливая нежность.

— Есть хочу, мамынька...

— Ну, придем на ярманку, там у тетки Егорихи перекусим... Даст чего-нибудь. У них теперь всего достаточно...

Сонька ничего не отвечала, и мать слышала только, как она в темноте шлепала босыми ногами. И сарафанишко на Соньке дыра на дыре, и кафтанишко весь обносился — стыдно в люди показаться. У себя-то в Притыке хоть в чем ходи, привыкли уже все к непокрытой бедности. «Ох, горькое дело эта бабья бедность, когда ниоткуда никакой подмоги! Живут же другие люди на белом свете...» Эти горькие мысли стояли у Афимьи на сердце, как давнишнее несчастье.

Было уже часов девять, когда вдали мелькнуло неясное варево от ярмарки в Торговищах. Там все было устроено на городскую руку: и фонари, и трактиры, и театр, — одним словом, чего душа просит. У Афимьи дрогнуло сердце, когда выступило впереди это ярмарочное зарево, и она опять присела на пер-

вый камень, чтобы перевести дух. В темноте слышно было, как тяжело катились по грязной, избитой дороге возы с кладью, как фыркали лошади, почуявшие близкий ночлег, как переговаривались ямщики, шагавшие по грязной дороге рядом с возами. Под самым Торговищем место было беспокойное: того и гляди, товар срежут, а то и целый воз стащат. На тракту в ярмарку сильно пошаливали, так что был даже устроен казачий «бекет»[339].

Сонька плелась за матерью с равнодушной покорностью и ни разу даже не спросила, куда и зачем они идут. Такая уж она выросла, точно деревянная. Вот есть да спать, так ее поискать. Задыхавшаяся от ходьбы Афимья чувствовала теперь какое-то озлобление против рослой и здоровой дочери, точно она отняла у матери всю силу.

— Все бы ты только жрала... — ворчала Афимья, поднимаясь. — Эх, затемнели мы, пожалуй, тетка-то Егориха укла-дется спать.

А зарево все разгоралось, точно от настоящего пожара. Место было ровное, степное, а по нему, как по блюду, катилась степная речонка Мурмолка. Торговище появилось всего

лет сорок, когда в степи, на берегу Мурмолки, была найдена явленная икона Парасковеи Пятницы Для иконы поставили деревянную часовенку, а около часовенки вырос степной сибирский Торжок. Стали наезжать по осени, когда убирался хлеб, краснорядцы из ближайшего степного городка и торговали всяким товаром прямо с возов, потом выросли ярмарочные балаганы, лари и деревянные «ряды», и в результате получилось Торговище. Сейчас это было настоящее село в несколько улиц и с каменной церковью. Несколько каменных двухэтажных домов, деревянный ярмарочный театр и каменные торговые бани на Мурмолке придавали ему даже городской вид, как уверяли местные патриоты. Но жизнь в Торговище продолжалась ровно месяц, пока происходила ярмарка, а затем это село засыпало на целый год вплоть до следующей ярмарки. Больше половины домов заколачивалось наглухо, и Торговище являлось каким-то мертвым селом. Оставались только так называемые «жильцы», то есть оставшиеся караулить мертвые дома. Одиннадцатимесячный сон с лихвой выкупался лихорадочным оживлени-

ем дикого ярмарочного месяца, когда днем кипела торговля, а ночью гремели своими машинами трактиры, распевали хоры арфисток и до утренней зари творилось всякое ярмарочное безобразие.

Афимья вошла в ближайший постоялый двор, запруженный обозными телегами и экипажами. Она прошла прямо в заднюю избу, где была «стряпущая» тетки Егорихи. Передняя изба была набита битком ямщиками, мелкими торговцами, прасолами и приехавшими на ярмарку мужиками, но места не хватило, и часть постояльцев перебралась в стряпущую, где управлялась тетка Егориха у громадной русской печки.

Тетка Егориха не выразила особенной радости, когда увидела Афимью.

— Давно не видались... — ворчала дворничиха, орудуя ухватом. — Сперва-то я тебя и не признала, Афимья: краше в гроб кладут.

— И то помирать пора, Егориха... В чужой век живу.

— На ярмарку помирать приволоклась? — ядовито заметила Егориха, оглядывая стоявшую рядом с матерью Соньку, — А это нешто

дочь тебе приходится?

Афимья застыдилась и только тяжело вздохнула, а Егориха оглядывала Соньку с ног до головы и качала головой.

— Ну, и вырастила девку, нечего сказать... В кого она такая-то уродилась у тебя крупичатая?.. Не ущипнешь...

— Пятнадцать годков минуло в успенском посту... На бедность бог здоровья посылает. Может, в горнишные куда определю...

— Так, — протянула Егориха и усмехнулась. — Ну, я с тобой покалякаю потом, а сейчас-то мне не до тебя. Как береста на огне, кручусь я день-то деньской... А ты, девонька, ужо поешь, — проговорила она Соньке, — да вот на лавочку за печкой и приляжь... Утро вечера мудренее.

Она сунула гостье кусок пирога и деревянную чашку со щами. Сонька присела к столу и принялась с жадностью за непривычную еду: дома она и во сне не видала таких щей. А Егориха смотрела на Сонькины голые ноги, покрытые грязью, на заплатанный вылинявший сарафанишко и опять качала головой, переполненной бабьими мыслями. Очень уж

красива из себя издалась девка: кровь с молоком. Волос русый, мягкий, шелк-шелком, глаз серый с поволокой, румянец во всю щеку, а тело белое-белое, как у городской барыни... Ну и уродилась девка, всему миру на украшение. Одним словом: крупичатая. Егориха подлила Соньке щей вторую чашку.

— Ее не накормишь, прорву, — заметила Афимья.

— Пусть поест наших ярмарочных-то щей... Ешь, касатка.

Сонька наконец наелась, вытерла рот, по-деревенски, рукой и зевнула: ее томил крепкий молодой сон. Тетка Егориха увела ее за печку и сама уложила спать.

Размалела девонька... — смеялась Егориха, возвращаясь к своим ухватам. — Это ее с еды разобрало: как пьяная, так с ног и валится. И красоту же ты вырастила, Афимьюшка...

— Никто ее не растил, сама выросла. Телка холмогорская. Смучилась с ней Самой есть нечего... голь непокрытая... Избенка провалилась совсем... Помереть бы так в самую пору. А она, Сонька, как назло, вон какая лупоглазая...

Тетка Егориха слушала эти жалобные речи вполуха, потому что нужно было накормить запоздавшую ямщину. Афимья сидела на лавке против печи и слипавшимися глазами наблюдала лошадиную работу ярмарочной стряпухи. Проворная была баба, хотя и в годах — за пятьдесят перевалило. Лицом не вышла тетка Егориха, такая рябая да скуластая, а уж все остальное, как у возовой лошади. Рядом с этой бабой-богатырем Афимья чувствовала себя уже совсем несчастной и никуда не годной.

— Эй, тетка, поворачивайся! — покрикивали ямщики из-за стола.

— Угорела я поворачиваться-то для вас, — огрызнулась Егориха.

Обозные ямщики ели, как едят только обозные ямщики: целый котел одних щей съели, пока от самих не пошел пар, как от загнанных лошадей. А там каша, да пирог с просом, да пирог с соленой моксуниной, да толокно с суслом. Ели до того, что приходилось распоясываться, потом отдыхать, запивать квасом и снова есть. Из едоков больше обозной ямщины едят одни пильщики. Афимья

сидела и смотрела на всех, как смотрит чужой человек, который боится «просидеть место» в чужом доме. Она чувствовала себя среди этих работящих, могучих людей еще несчастнее, еще беднее, как, вероятно, чувствовала бы себя заплата на изношенном платье, если бы только она могла чувствовать.

II

Ну, теперь мы с тобой перекусим, чем бог послал, — говорила тетка Егориха, накормив ямщину. — Бывает и свинье праздник: так и мое дело... Ты, поди, притомилась с дороги-то, сердяга? Нет... неможется мне... Вся не могу... А мы полечимся малым делом...

Тетка Егориха поставила на стол сороковку и налила по рюмке. Афимья начала было отказываться, но хозяйка заставила ее выпить.

С устатку-то оно пользительно, Афимья: по всем суставчикам, по всем жилочкам прокатится. Давно я тебя не видала... Гляжу даве на тебя и думаю: «Помрет Афимья не сегодня-завтра»... До рождества, поди, не дотянуть?..

— Где тут дотянуть, когда с ног валюсь...

— Вот, вот... Беспременно этак в посту помрешь, ежели протянешь до поста-то. Ох, горькая!.. Да ты ешь больше, может, силы-то прибавишь.

Угощая Афимью, Егориха главным образом не забывала себя и хлопала одну рюмку за другой. Скоро лицо у нее раскраснелось, как кумач, глаза налились кровью, а язык начал заплетаться.

— Нет, Сонька-то у тебя, а? — повторяла она. — Репа другая такая-то уродится: ядреная, да белая, да ямистая... Ну что же, ей же лучше, значит, Соньке твоей. Верно я говорю?.. У меня есть и сарафанишко ситцевенький, и ботинки козловые, и платочек — обрядим девушку, как следовает. Кому ее такую-то грязную да рваную нужно... Да косу-то тугую заплетём, волос к волосу, штобы всё форменно. А ты не сумлевайся: не ты первая, не ты последняя. Ох, и грех только с этими девками!.. Я-то не занимаюсь этим делом, а так, пожалею иногда, ну, сарафанишко дам, ботинки, платочек — для этого и держу... Не первая твоя-то Сонька. После какое спасибо

говорят тетке Егорихе...

— Да уж не оставь, будь добренькая... В своей коже не выведешь ее на люди-то.

— И много их, таких-то, каждую ярманку из деревень привозят: из вашей Притыки, из Облепихи, из Парменовского волока — со всей округи девок на ярманку волокут на службу.

Оглядевшись, Егориха подсела совсем близко к Афимье и принялась нашептывать:

— Ты только, мотри, сама все дело оборудуй, а то есть тут такие бабешки, которые окручивают девон... Как раз ничего не получите. Мне-то все равно, а жаль, ежели девушка даром пропадет. Вчуже жаль... Ну, так уж ты сама. Да што я учу-то тебя, глупая: лучше меня понимаешь...

Афимья опустила глаза.

— Тошнехонько самой-то, — прошептала она. — Тоже ведь родная дочь, хоть и не в законе...

— Эка невидаль: одинова по рядам пройти... Больше и не допустят. Да я бы сама, кабы могла удосужиться... В лучшем бы виде все устроила, сделай милость. Вот бы как: комар

носу не подточит... Главное, не продешевить бы такую кралю писаную. Ведь такой другой и не сыскать... Право! Личико-то еще ребячье, а сама уже вполне — лучше этого скусу не бывает...

У Афимьи тоже начинало шуметь в голове от выпитой водки. Непривычное дело, да и слаба она была, а тут как будто и легче. Э, все равно, не подыхать же, в самом деле, с голоду...

А мне плевать... — храбрилась Афимья, стукая кулаком по столу. — Кто Соньку замуж возьмет? С лица-то не воду пить, а женихи выглядывают, где приданого больше дадут... А у нас одно приданое — голь перекатная. Истомилась я, тетка Егориха... Вытянулась... вся не могу. Ну, теперь Сонькина очередь...

— Да ты што Сонькой своей бахвалишься-то? — вздорила пьяная Егориха. — Гладкая девка, нечего сказать... А только ноне по деревням кругом таких крупичатых девок не оберешься: все московские гостинцы. Куда ни поглядишь — все девки на подбор... Раньше-то этого в заведении не было. Стыдились тоже... А нынче только давай денежки... Та-

кая-то девушка, ежели с умом, ярманки две — три поживет в Торговище, так любой жених возьмет, потому — у ней свои деньги.

— У нас в Притыке после каждой ярманки свадьбы играют... Не брезгают... Ничего...

— Везде так-то, Афимьюшка... Это прежде строгость была на девок, а ноне развей горе веревочкой. Вот хоть тебя взять: из-за пустяков ты пропала тогда...

— А сраму-то сколько напринималась, тетка Егориха? — плакала Афимья, отмахиваясь рукой. — Проходу не давали по деревне, как тяжелой ходила, а потом, как Соньку родила — пуще того срам... Ребятишки Соньку и посейчас корят: «ярморошный калач». У нас всех так, кто не в законе... Ну, а ей ребячьим делом обидно, жалуется, а больно-то все же мне.

— И не говори, всякий издевался бы над нашей сестрой... Так здря ты пропала, Афимьюшка. Вот погляди, как Сонька замуж выскочит, ежели с умом... Ноне-то она еще молода, а через год выйдет.

— Боюсь я... совестно тоже в ряды выходить.

— Ах, дура, дура... Какая там совесть, коли с голоду подыхать приходится. А вы так сделайте: будто на приданое собирать пошли по рядам... Это наши же бабешки придумали. Ну, купцы и будут присматривать Соньку... Да не льститесь на молодых: молодые-то обманчивы... Да от молодого-то сразу с гостинцем уйдет. А выбирайте этакого старенького, поласковее... Уж старенький-то не обидит... Много ли ему надо, а за свою охотку озолотит. Погонные есть старички на таких вот девчонок... Им не надо другую, а давай вот этот самый скус.

— Слыхала...

— И озорства от старенького не будет, а все честь честью. Не обидит сироту... Уж я эти дела вот как знаю: тоже на людях болтаюсь. Кабы сама молодая была, так не ломалась бы в стряпухах, да уж из годков вышла... Тьфу!.. Мелю и сама не знаю што...

Весь постоялый давно спал, только в стряпущей горела оплывшая сальная свечка, слабо освещавшая беседовавших женщин. Тетка Егориха уже давно клевала носом, но бодрилась, подогретая этими ярмарочными душев-

ными разговорами. Дальше начались уж настоящие «бабьи шепоты».

— Я так полагаю, што четвертной билет... — шептала Афимья.

— Дура ты, вот што... Без сотельной и не разговаривай...

— А не дадут?

— И с удовольствием... Две сотенных отвалит старенький-то, ежели разгорится сердцем. Бе-едовые из них издаются... Ничего не жаль!..

Тетка Егориха так и заснула, повалившись на стол, а Афимья прилегла на лавочку да так и не могла глаз сомкнуть вплоть до белого света. И тяжело ей дышать, и грудь ноет, и холодом обдает, а в голове мысли разные, как камни, пересыпаются. Закроет глаза, как будто забудется, и сейчас же вздрогнет... Страх на нее нападает. Давно эго было, как ее, круглую сироту, привезла на ярмарку двоюродная тетка и продала одному молодому купцу. Конечно, какой разум у глупой девчонки по шестнадцатому году — радехонька, что сарафан новый купец подарил, да ботинки, да платок. Да и купец нравился — белый да румяный,

как теперь Сонька. Вся в него уродилась... Обещался в другой год приехать... Воротилась Афимья с ярмарки домой и почувствовала себя беременной. Пошла к тетке, а та ее срамить да в шею. Так и износила свое бесчестье Афимья одна и чуть рук на себя не наложила. Потом родилась Сонька... Тут и стыда не стало, а начала Афимья ждать ярмарки осенью в Торговище: приедет Василий Иваныч, как звали Сонькина отца, и поможет ей, а то и совсем увезет. Что ему стоило, Василию Иванычу: богатый купец и три лавки с красным товаром в рядах держал. Только фамилию купца Афимья забыла, да и раньше не знала... И ждала же она этой ярмарки, как христова дня: недели считала, дни считала, часы считала. Не каменный же человек Василий Иваныч: увидит свою кровь, Соньку, и сжалится. Намаялась она за его лакомство, настыдилась, а девичьих слез и не пересчитать.

Наступила и ярмарка. Захватила Афимья с собой Соньку и отправилась в Торговище. Чего только не передумала она, когда подходила к рядам, где торговали красным товаром. Вот и лавки Василия Иваныча... Подошла она к

первой, где он сам сидел, и видит, что кто-то другой торгует. И сердитый такой...

— Мне бы Василия Иваныча повидать... Он здесь торговал.

— Никакого Василия Иваныча нет, да и не было никогда.

— Ну, уж это я знаю, какой Василий Иваныч был...

— А знаешь, умница, так поищи хорошенько.

Сошлись купцы и подняли на смех несчастную Афимью, а она разревелась, им еще смешнее.

Ты бы на него тогда колокольчик надела, штобы не потерялся, — высмеивали московские краснорядцы-зубоскалы. — Фамилия-то как будет?

— Василин Иваныч...

Так и ушла Афимья ни с чем, кроме того, что набралась нового сраму.

И вторую ярмарку так же было, и третью: пропал Василий Иваныч, точно в воду канул. Стала перебиваться Афимья от ярмарки до ярмарки, потом служила горничной, потом кухаркой на той же ярмарке, пока была в силах.

Так и износилась заживо.

III

На другой день утром тетка Егориха поднялась в дурном настроении духа: у ней трещала голова с похмелья. На Афимью с Сонькой она не обращала никакого внимания и с особенным ожесточением совала свои котлы в топившуюся печь. Афимья не решалась первой завести речь об обещанной одеже и терпеливо ждала, когда тетка Егориха заговорит сама.

Немного прочухавшись, стряпуха добыла из сундука сарафан из дешевенького ситца, ботинки и платок.

— Ну-ка, рвань деревенская, оболокайся! — сердито командовала Егориха, тыкая в нос Соньке своей одеждой, — Да рожу-то сперва вымой...

Туалет происходил за печкой, чтобы не видно было мужикам. А потом тетка Егориха устыдилась собственной грубости, посадила Соньку на лавку и сама расчесала ей голову и заплела тугую косу.

Ну, девушка, теперь совсем... — проговорила Егориха, оглядывая Соньку с ног до голо-

вы. — Кабы тебе прицепить хвост, так полная бы барыня вышла... Пора, Афимьюшка. Эх, жисть наша бабья...

После бессонной ночи Афимья едва держалась на ногах. Когда-то красивое лицо было покрыто мертвой бледностью. Сонька ничего не понимала, для чего ее обрядили, и вопросительно смотрела то на мать, то на тетку Егориху.

— Ну, ступайте, горькие... — выпроваживала их Егориха. — А ты, Афимьюшка, попомни мой-то наказ... Ну, что еще стоите столбами, деревня немшоная!..

Афимья плохо помнила, как они вышли на улицу, как дошли до церкви, как повернули мимо ярмарочных палаток и ларей к деревянным рядам, пестревшим яркими вывесками. Народу было нетолченая труба, и Афимья боялась только одного, как бы не встретить своих притыканских: увидят обряженную Соньку и подымут на смех.

Вот и ряды с красными товарами... Афимья остановилась перевести дух: ее точно душила какая-то невидимая рука, а в глазах шли круги и красные пятна. Сонька с любопытством

глазела на пеструю толпу, сновавшую у рядов. Шли, ехали, галдели, размахивали руками, божились, ругались — одним словом, ярмарочная толпа. Глазными покупателями являлись, конечно, деревенские. Около рядов особенно много было баб. Из сотни этих толкавшихся и глазевших баб покупала одна, а остальные могли только завидовать этим редким счастливицам. Главная покупка красного товара шла на осенние свадьбы. Краснорядцы выскакивали из лавок и зазывали покупателей с московским нахальством, чуть не хватая их за горло.

— Эй, тетка, у нас покупала! — ревел краснорожий молодец, галантно изогнув весь свой корпус. — Сегодня на деньги, завтра в долг... Лутчие ситцы! Миткаль! Плис!.. Иголки, нитки, тесемки, каленкор!..

— Сукно, сатин, треко, драп!.. Пальты готовые!.. Пожжалуйте... Без запросу... Кто купит — три года спасибо говорит и других к нам же посылает. Шерстяные материи... люстрин... бумазея!..

Где-то в ближайшем балагане немилосердно наяривала охрипшая шарманка и неисто-

во выкрикивал Петрушка:

— Кар-раул... ограбили! Утащили шапку из ежевого меху, да шубу на меху из гусиных лапок, да железную трубу от серебряного самовара, да прошлогоднего снегу воз, да два фунта дыму... Ой, батюшки, ограбили!..

У Афимьи захолонуло на сердце, когда они подошли к первой лавке. Она вошла и остановилась у порога, заслонив Соньку одним боком.

— Тетка, что покупаешь? — пристал к ней краснорожий молодей.

— Мне бы хозяина повидать...

Молодец смерил Афимью с головы до ног, осклабился и молча ткнул пальцем на конторку, за которой стоял бородатый купец.

— Не будет ли милости на бедность.. — заговорила Афимья. — Дочь вот невеста... Замуж хочу выдавать...

Купец отодвинул счеты, поднял глаза на просительницу и отрезал:

— Мы эфтакими делами не занимаемся... Проходи. Эй, вы, очертелые, зачем всякую шваль пущаете?..

Когда Афимья вышла из лавки, между мо-

лодцами поднялся шепот и смех.

— Невесту повели!.. — галдели краснорядцы. — Кто дороже даст!.. А девка ничего: мак...

Во второй лавке Афимью и Соньку обступили молодцы и загалдели прямо в лицо: хозяина не было в лавке.

— А жениха-то где возьмешь, тетка? Тоже бы привела показать: оно бы куда жалобнее вышло.

Старый седой приказчик, стоявший у кассы, сердито отплюнулся и, сунув Афимье двугривенный, выпроводил ее.

— Иди-ка, матушка, лучше домой, да не страми дочь... — посоветовал он. — Тоже, крестьяны здешние: вконец около ярмарки измалодушествовалась. Родную дочь повела...

В третьей лавке хмельной купчик подарил Соньке платок и все хотел ее обнять, но она убежала. Кое-где давали мелкую монету или обрывок ситца и везде встречали и провожали шуточками, насмешками и грубым издевательством. У Соньки выступали уже слезы на глазах, и она одной рукой крепко уцепилась за мать.

— Мамынька, пойдем домой... — шептала

она.

Без того взволнованная и огорченная, Афимья ударила Соньку кулаком в бок так, что та разревелась совсем уж не к месту. Их окружила хохотавшая толпа.

— Вот так невеста!.. О-хо-хо!.. Ее еще с ложки кашей надо кормить.

Взбешенная Афимья ударила Соньку по лицу, а потом схватила за косу и сбила платок с головы. Кругом стоял настоящий стон от хохота. Но вдруг толпа расступилась, и подошел седенький розовый старичок.

— Нехорошо, милая... ах, нехорошо! — уговаривал он расходившуюся Афимью, придерживая ее за руку. — Первое дело, в публичном месте не дозволено производить скандал, а второе... Эй, вы, что вы в самом-то деле проходу не даете бабе! Ну, ступай, милая, своей дорогой...

Афимья обрадовалась случаю и чуть не бегом потащила Софью вперед, только бы уйти из проклятых рядов. Когда она шла уже по площади, ее догнал купеческий молодец и таинственно пригласил следовать за собой. У Афимьи екнуло сердце, как у рыбака, у кото-

рого клюнула большая рыба. Молодец повел женщин позади рядов, где свалены были пустые коробья, сундуки и всякий хлам, а потом задней дверкой в какую-то контору при лавке. Там уже ждал их тот самый седенький старичок, который только что освободил их от нахальной толпы. Он сделал молодцу знак, и тот исчез, как тень.

Старичок припер дверь и заговорил:

— Ну, невеста, будет тебе реветь-то... хе-хе! Слезы-то твои ужо шелковым платочком утрем.

— Девичье дело... застыдилась малым делом... — оправдывалась Афимья, оправляя платок на голове Соньки. — Пристали охальники... ржут...

— Все исправим... — повторял старичок, притягивая Соньку к себе за руки. — Сколько тебе лет? А зовут как?.. Словом, девушка, нечего сказать: ходить бы тебе в кумаче да в шелку.

Он ласково потрепал ее по заалевшей щеке, а сам так и впился в нее глазами. Очень уж аппетитная штучка... Всем взяла: и ростом, и лицом, и румянцем, а глаза совсем

бархатные. Сонька тоже смотрела на ласкового старичка и улыбалась: ей вдруг стало весело. Вот эта улыбка, точно обухом, ударила старика по голове... Он выпустил Сонькину руку и сам побледнел. Губы что-то шептали и не могли выговорить. Старик смотрел то на мать, то на дочь и напрасно старался что-то припомнить, как неожиданно разбуженный человек припоминает вылетевший из головы яркий сон.

— Так... так... — шептал он. — Софьей, говоришь, звать? Да... Так-с. А тебя Афимьей?.. Нука, ты, Сонюшка, выдь малым делом, а мы тут потолкуем...

Когда девушка вышла, старик ухмыльнулся, припер дверь и вполголоса повел переговоры. Афимья старалась не смотреть на него и машинально повторяла подсказанную Егорихой цифру.

— Дорожишься маленько... — торговался старичок, соображая что-то про себя. — Таких-то невест по ярмарке ходит сколько угодно...

— Много их, да супротив моей Соньки рожей не вышли...

— Так, так... Вот што я скажу тебе, миленькая: ты посиди пока здесь с Сонькой-то, а я за деньгами в банк съезжу. При себе-то таких больших денег не держу...

Афимья согласилась. Старичок впустил Соньку и по пути ущипнул ее за щеку.

— Подождите меня, красавицы, а я живой рукой оберну.

Старичок еще раз пощипал Соньку по щеке и, приподняв ее лицо за подбородок, проговорил:

— Ну, улыбнись, ягодка... хе-хе!

Он опять впился в нее своими ласковыми глазами и опять почувствовал себя жутко, когда Сонька засмеялась от щекотки.

«Она и есть!..» — думал старик, припирая дверь, чтобы гостьи не ушли без него.

Он ужасно торопился и, схватив первого извозчика, велел ехать к исправнику. На его счастье, исправник был дома. Старик сунул стражнику какую-то мелочь и просил доложить о себе не в очередь: другие просители могли ждать. Исправник, Иван Семеныч, знал его лично и не заставил просить во второй раз.

— Что так ускорился, Василий Иваныч? — пошутил исправник, когда старик вошел к нему в кабинет.

— Да уж так-с... Особенное такое дельце-с, Иван Семеныч. Даже, можно сказать, из ума вышибло...

Он, видимо, стеснялся, с чего начать, и все посматривал на дверь, а потом махнул рукой и торопливо рассказал про свою встречу с Сонькой.

— Ну, так что же? — улыбнулся исправник, молодцевато подмигнув. — Ах, шалун... Давно надо богу молиться, а он вон что придумал... Хе-хе!..

— Нет, вы выслушайте-с, Иван Семеныч... Действительно, был и такой грех: польстился. Уж очень хороша девочка: один сок... Хорошая. Послал я за ними молодца, ну, то, се, разговариваю, а как она улыбнется, значит, Сонька...

— Ах, Василий Иваныч, Василий Иваныч... Нехорошо... — повторил исправник, качая головой, — Ведь вы, москвичи, весь уезд у меня развратили, а кругом Торговища верст на двадцать все население незаконнорожденное.

Ну-с, улыбнулась Сонька и...

— Меня точно обухом по голове: дочь у меня есть, так вот как есть вылитая Сонька... Даже страшно мне сделалось. Потом гляжу я на мать-то: мой грех был. Еще подумал: как раз годы-то Сонькины сходятся. Ну, уж мне совсем муторно сделалось: моя кровь эта самая Сонька...

— Вот так фунт!..

— И, например, эта ее мать желает непременно продать ее, Соньку, а Сонька, например, — моя кровная дочь... И продаст!.. Вот я и пришел к вам, Иван Семеныч... Явите божескую милость, насчет Соньки, например, чтобы сраму этого не было...

Иван Семеныч сделал большие глаза и покачал только головой: в его практике это был еще первый случай.

— Что же я могу сделать, Василий Иваныч? — соображал он. — Сегодня помешаем продать — завтра продаст... Выслать в деревню могу.

— Нет, зачем высылать — опять придет. А нельзя ли ее задержать на время, ярмарки вместе с дочерью, а потом уж выпустить? На-

пример, я объявлю подозрение на них вот сейчас же, а вы их на цепочку... Жалеючи Соньку, хлопочу, Иван Семеныч. Тоже ведь не чужая... Ох, грехи!.. грехи!.. И, кроме всего этого, я желаю ее обеспечить, значит, Соньку...

Старик достал бумажник и выложил пред Иваном Семенычем пятирублевую ассигнацию.

Когда из высидки выпустите их, так это Соньке на приданое, не без самодовольства проворчал он. — Тоже и на нас крест есть... Можем чувствовать.

Афимья с Сонькой действительно просидели всю ярмарку в кутузке по подозрению в краже бумажника у Василия Иваныча, а потом были выпущены. Сонька не получила и того «приданого», какое ей оставил Василий Иваныч...

Авва[340]

(Очерк)

Глава 1

— А у нас, дева, поп новый… — докладывала мне Фатевна, разбитная заводская прасолка. — Совсем еще молоденький, а такой, Христос с ним..

— Какой?

— Спроси у Андроника, какой… Он тебе скажет!..

Фатевна поправила сбившийся на груди длинный передник и загадочно хихикнула себе в нос. Очевидно, Фатевне хотелось продолжать начатый разговор, и она нерешительно переминалась с ноги на ногу, ожидая реплики. Толстая, коренастая, точно сколоченная фигура Фатевны так и дышала той изворотливостью и неугомонной суетой, какие присущи всем мелким торговкам, промышляющим всякую малость одним собственным трудом. Особенно характерно было лицо Фатевны: рябое, морщинистое, с широким ртом, орлиным носом и серыми ястребиными глаз-

ками Она умела все на свете видеть «насквозь» и резала своим языком хуже ножа. В своем ситцевом сарафане, розовой ситцевой рубашке, в козловых мягких башмаках «ступнях» и в какой-то мудреной повязке на голове, Фатевна выглядела настоящей бой-бабой, которой пальца в рот не клади. Говорила она скоро, бормотком, точно сухой горох сыпала, и в такт сыпавшимся словам сильно размахивала своими длинными руками; особенно интересно умела Фатевна повертываться на одном месте стопочкой, точно деревянная кукла на пружине. Впрочем, повертывалась она так только в хорошем расположении духа, а когда ссорилась со своей квартиранткой Глафирой, ограничивалась только движениями одной головы, которую совсем почти повертывала назад, как это делают хищные птицы. К числу особенностей Фатевны принадлежала привычка всем без различия говорить «дева». Теперь, пока я пил чай, Фатевна подробно «отлепортовала» о новом священнике, который, очевидно, сильно ее занимал.

— Ничего, он оборотистый, дева, — заключила свою речь Фатевна, разводя руками, точ-

но сновала пряжу. — Не чета Андронику-то... Только будто у Андроника денег много, а так, ежели его взять, так все равно, что мешок с травой — ничего он не стоит.

— Что, видно, поссорились опять с Андроником-то?

— Я! — Ох, и не говори!.. Один только грех, дева, с этим Андроником. Прямо сказать... А на его-то деньги мне плевать!.. Мое дело женское, каждую копеечку из-под ноготка добываешь, а и то с поклоном к Андронику не пойду... Вот ужо подведет ему животы новый-то. Его отцом Егором звать... Ну, я распустила с тобой басни-то, а ты, поди, есть хочешь?

— Пожалуй...

— Постный день-то сегодня, плохая у нас еда. Разе вот пирог с грибами немножко отдохнет, так его тебе подать?..

— Ничего и пирог...

Фатевна повернулась стопочкой и поплыла к выходу; ходила она, по своей толщине, с легким перевальцем, как ходят маленькие дети.

— А ты пойдешь к имям? — спросила Фатевна, останавливаясь в дверях.

— К кому это?

— Обнакновенно к кому: к попу Андронику...

— Да ведь Андроник один...

— Ну, а дьячок Паньша, учитель Краснопевцев, — ведь они и днюют и ночуют у Андроника. И по улице так гнездом и ходят... Учитель у нас недавно, почитай вместе с отцом Егором приехал, а водку пить — так и хлещет, так и хлещет. Как-то идут мимо нас, то есть Паньша с учителем, а Глафира увидала их в окошко и говорит: «Вот, говорит, бредут две глисты». Ей-богу, дева!.. У Глафиры в зубах не завязнет...

— Мамынька, где ты запропастилась? — послышался в сенях звонкий голос единственной дочери Фатевны, Феклисты.

— Иду, иду... Эк тебя взяло!.. Так я тебе пирога подам, не обессудь на нашей простоте.

Бывая в Мугайском заводе, я всегда останавливаюсь в опалубленном домике Фатевны не потому, чтобы сама Фатевна или ее дом мне особенно нравились, а просто по старой привычке: остановился раз, а там и пошло. Да и выбирать, собственно, было не из чего: или

на земскую квартиру, или к Фатевне. Я из двух зол предпочитал последнее, потому что на земской квартире уж слишком было неприглядно.

Как по наружному виду, так и по внутреннему устройству домик Фатевны служил характерным дополнением своей бойкой хозяйки. Ои стоял на высоком берегу заводского пруда, на самом углу улицы, и так сыто поглядывал кругом своими пятью окнами!.. Железная крыша, беленые трубы, раскрашенные зеленой краской ставни и ряд хозяйственных пристроек придавали ему типичный вид купеческой архитектуры средней руки. Такие палубленные стены, расписные ставни, крепкие ворота и железные крыши точно отмечают накопившееся среди остальной заводской голытьбы плотное довольство тех счастливцев, которые успели выделиться из остальной человеческой массы и вполне утвердились на своей линии. В таких крепких домах и живут крепко, превращая отдельные дни в кольца какой-то железной цепи, которая не порвется и всегда постоит за себя.

Внутри дом Фатевны был устроен замеча-

тельно, в том отношении, что в нем, точно со специальной целью, были сгруппированы всевозможные неудобства, какие только можно придумать. Всех комнат было четыре, пятая кухня, но они были так расположены, что, собственно, не было ни одной отдельной комнаты, а все были проходные, так что составляли что-то вроде широкого коридора, разделенного перегородками с дверями. Жить в общечеловеческом смысле в таких покоях не было никакой физической возможности, потому что и строились и убирались они преимущественно «на случай гостей». Эти гости были чем-то вроде пункта помешательства для Фатевны, и она лезла из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом. С этой нарочитой целью везде были разостланы чистые половики домашней работы, на окнах развешены кисейные занавеси с бахромками, на подоконниках расставлены мещанские цветы — петухи, герани, красный перец и т. д. Мебель, состоявшая из расклеившихся ломберных столов, подержанных венских стульев, приобретенных по случаю двух диванов, обитых пестрым ситцем и жестких, как чугунные плиты,

и парадной двухспальной постели, на которой сама Фатевна никогда не спала, — эта мебель являлась жалким сколком с купеческой городской роскоши и наводила тоску на свежего человека своим бесприютным видом, точно здесь был собран музей самых неудобных вещей для домашнего обихода. Прибавьте к этому, что все наружные стены дома были изрублены окнами, а внутренние — дверями, так что, собственно говоря, негде было поставить кровати. Я устраивался обыкновенно на одном диване, который стоял под тремя окнами, что зимой было особенно неудобно и с чем приходилось все-таки мириться, чтобы не ложиться головой к наружной двери, а ногами к печи.

Мне обыкновенно приходилось проводить в Мугайском зала воде всего несколько дней, и Фатевна с удовольствием уступала мне свои парадные горницы, вероятно, желая блеснуть своей обстановкой пред заезжим человеком, который лучше других мог оценить все достоинства ее горниц. Сама Фатевна перебивалась с мужем Денисычем и косоглазой дочерью Феклистой в темной и холодной «куфне», где

всегда было сыро и пахло гнилью, а зимой холодно, как в погребе. Чтобы не нарушать великолепия парадных горниц, Фатевна спала даже зимой на полу кухни, под тремя шубами, уступая печку Денисычу, а полати — Феклисте. Благодаря таким условиям Фатевна целую зиму маялась то зубами, то поясницей, то животом, то головой, но я уверен, что в ее трещавшей от угара, холода, сырости и сквозного ветра голове ни разу не мелькнула мысль о возможности занять хоть на время одну из горниц.

— А гости навернутся?! — с ужасом объяснила мне Фатевна, когда однажды я намекнул ей на такую возможность. — Што ты, што ты, дева... Устраивала-устраивала, налаживала-налаживала горницы, а тут стану сама же их срамить. Экое ты слово вымолвил, дева!..

— Хуже постоянно хворать, Фатевна, а неровен час и богу душу отдашь, а горницы останутся.

— И пусть останутся, Феклиста будет жить... А што насчет смерти, дева, так ты это даже совсем напрасно: вон наша Глафира скрипит, а я против нее еще верба вербой. Это

господа придумали разные простуды, а мы и так износим.

В ожидании, пока пирог с грибами «отдохнет», я разрешил почти математическую задачу, вроде четвертого измерения, как устроиться со своими пожитками в средней горнице, на неумолимо жестком диване, точно набитом булыжником. Главное неудобство моей позиции заключалось, во-первых, в том, что вечером, при огне, в моей комнате было все видно, как в фонаре, потому что парадных занавесок опускать не полагалось; во-вторых, косая Феклиста имела привычку шмыгать через все комнаты как раз в те моменты, когда только начнешь раздеваться или одеваться. Время было летнее, самый полдень; с улицы так и тянуло тяжелым зноем, самовар погас и только изредка пускал одну протяжную пискливую нотку, точно удавленный. Разместив свои пожитки частью под гостеприимный диван, частью в угол, я с удовольствием мечтал после «отдохнувшего» пирога вздремнуть где-нибудь в прохладном местечке, но это благочестивое желание было нарушено криками и руганью, которые донеслись со двора. Я рас-

пахнул окно на двор.

Вон он, барин-то... Он все слышит! — голосил знакомый мне голос Глафиры, которая сидела на приступке подсарайной, с чулком в руках.

— И пусть слышит!.. — азартно отвечала Фатевна, выступая по двору фертом и даже поставив руки в боки. — А ты все-таки живая боль... Чего размыргалась, как ворона перед ненастьем?

— И ты хороша, сухая мозоль, — отвечала Глафира, стараясь выдержать незлобный тон. — Ровно бы тебе, Фатевна, и помолчать пора. Правду, видно, говорят, что бабье серсо как худой горшок, — все бренчит. Ты бы хоть чужих-то людей постыдилась. Своя дочь на возрасте, а девисе разве пристало твои непогожие речи слушать?

Слабым местом Фатевны была ее «девиса» Феклиста, которая из-за своего косого глаза совсем «зачичеревела» в девках, что родительскому сердцу Фатевны было особенно прискорбно. В крайних случаях Глафира умела именно с этой стороны напасть на Фатевну, и последняя лезла на стену, стараясь, в

свою очередь, отзолотить злыдню Глафирку на все корки. Теперь, когда барин в окошко все видел и слышал, отношения воюющих сторон обострились в высшей степени и перешли в настоящее ратоборство. Посыпалась обоюдная брань. Фатевна в азарте даже бросала щепами в своего врага, а Глафира плевала в нее, хотя щепы и плевки и не достигали своих конечных целей. Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причем старались перекричать друг друга, так что понять в этой сумятице решительно ничего нельзя было, хотя по особенно частому упоминовению имени Феклисты и можно было догадаться, что дело вышло из-за нее.

— Мамынька, пирог-то отдохнул!.. — крикнула Феклиста, появляясь на крыльце в подтыканном ситцевом сарафане.

— Ах, я дура!.. — обругала себя Фатевна, направляясь к «куфне». — Простудила совсем пирог-то из-за этой злыдни...

— Ступай, ступай, воевода... — поддразнивала Глафира, хихикая коротким смешком, причем закрывала свой рот широкой костля-

вой ладонью. — По словам, как по лестнице, ходишь, а барин с голоду умирай...

Фатевна, занеся ногу на приступок крыльца, остановилась и, обернувшись назад, каким-то неестественно высоким голосом закричала:

— А ты, моль, уходи от меня!.. Слышишь? Чтобы и духу твоего не было у меня в дому!

— И уйду... сейчас уйду!.. Испугала, подумаешь, своим-то домом, да я... Важное кушанье: плюнуть и растереть нечего.

— Моль, моль, моль!..

Конечно, вся эта сцена была самым невинным упражнением в красноречии, чтобы убедить барина и весь свет, какая ведьма эта Фатевна и какая злыдня Глафирка. Стороны, взывая к моему третейскому нелицеприятному суду, конечно, рассчитывали каждая исключительно в свою пользу. Невинными свидетелями происходившего ратоборства, кроме меня, были две копавшиеся в мусоре курицы, шарашившийся на длинной привязи теленок, лаявшая на воздух цепная собака Соболь, Денисыч, запрягавший под навесом лошадь, и девица Феклиста, гремевшая в кухне

посудой. Денисыч, сутулый и низенький мужик в пестрорядевой рубахе и таких же портах, в развалившихся сапогах и рваной шляпенке, меньше всего походил на то, чем должен был бы быть муж Фатевны. Он сильно смахивал на одного из тех кухонных мужиков, каких можно встретить где-нибудь на черной лестнице большого столичного дома. Впрочем, в доме Фатевны он и выполнял роль такого кухонного мужика. Какое-то полинялое лицо, мочальная бороденка, вялые движения, апатичный, мрачный взгляд — все говорило не в пользу Денисыча. Народ зовет таких мужиков мусорными. Заложив лошадь и поплевав на руки, Денисыч постоял около телеги минут пять, потом почесал в затылке и, передвинув свою шляпенку с уха на ухо, в прежнем раздумье вяло побрел в кухню, вероятно, с слабой надеждой, не перепадет ли и на его долю «отдохнувшего пирога». На дворе, залитом ярким июльским солнцем, осталась теперь одна Глафира. Зевнув устало несколько раз в свою костлявую руку, она посмотрела на кухню и неожиданно запричитала тоненьким плаксивым голосом, точно ее придавили:

— Сирота-а я горемычная!.. Нету у меня батюшки-заступничка, матушки-заботушки! Некому за меня заступиться!.. Ох-хо-хо!.. Хоть бы умереть от этой каторжной жисти! Вон она, эта ведьма, как меня собачила!.. Дом у ней, слышь, так ступай из дому! И уйду... У покойного тятеньки какой дом был, — почище этого в сто раз, да и то не хвастался. Собака, эта Фатевна, настоящая цепная собака... И уйду, непременно уйду!.. Попадья отца Егора давно меня сманивает — и уйду к ней. Ох, я сирота беззащитная, горе-горькая сиротинушка!.. У Фатевны-то у самой дочь вон какое косое дерево уродилось.

Глафире давно было за сорок; по общественному положению она была христовой невестой, потому что уродилась такой длинной и нескладной вислятью, что ни один жених не решился вступить с ней в закон. Точно вытянутая фигура Глафиры поражала своей непропорциональностью, и общая костлявость делала ее совсем безобразной. Длинные руки висели безжизненно; двигалась Глафира на своих длинных ногах с таким неуверенным видом, точно они v ней были отмороже-

ны или под тощими складками безжизненно болтавшейся на ней шерстяной юбки были деревянные ходули вместо ног. Длинное, желтое лицо Глафиры было покрыто мелкими морщинами, большой рот открывал два ряда гнилых зубов, которые она напрасно старалась закрыть своей костлявой рукой, жидкие темные волосики на вдавленных по-щучьи висках точно были прилизаны; вообще эта почтенная девственница отличалась большим безобразием, и только наступившая старость придавала ей известную долю благообразности, скрывая своими морщинами пороки и недостатки. Только крошечные голубенькие глаза, как две незабудки, смотрели всегда так любовно и с насмешливым добродушным огоньком, да большой, некрасивый рот улыбался точно что-то спрашивавшей застенчивой улыбкой, какой умеют улыбаться все русские божьи люди. Голос у Глафиры был слабый, чахоточный, но он так хорошо переливался, точно ручеек бежит, так что хотелось его слушать без конца. В самом тоне было что-то такое безобидное, успокаивающее. Так умеют говорить старые няни, няни

по призванию, которые заговаривают самых неспокойных ребят, когда те капризничают и купоросятся перед сном. Я любил слушать, как говорила Глафира, особенно, когда она что-нибудь рассказывала, — она умела схватить самые типичные особенности людей и особенно их слабые стороны.

К числу особенностей этой христовой невесты, между прочим, принадлежала способность сочинять стихи, вернее, складывать, потому что грамоты Глафира почти не знала. Сюжеты она выбирала из текущей действительности, причем ее недругам перепадало на долю немало злых сарказмов. Где училась Глафира этому искусству и как научилась, трудно сказать; в ней, может быть, сказывалась та поэтическая жилка чисто народного склада, посредством которой создавались все народные песни, сказки, притчи, былины и сказания. В данном случае дар богов разменивался на слишком мелкую монету...

Потрапезовав пирогом с грибами, я только прилег на диван немножко отдохнуть после дороги, как в мою комнату неслышными монашескими шагами вошла Глафира. Она та-

инственно огляделась по сторонам и, убедившись, что засады нигде нет, потом заговорила:

— А ведь я вам, надо полагать, помешала? Тятенька-покойничек всегда, бывало, как закусит пирожком, сейчас на лежанку — теплая у нас такая была лежанка — и отдернет часик-другой... Я уж лучше уйду, а вы отдыхайте.

— Нет, садитесь... Что давеча не приходили чай пить?

— Ох, уж до чаев ли нам!.. Слышали, как даве Фатевна-то меня золотила? Уж она меня и так и этак... А мое дело сиротское... да...

Глафира каким-то деревянным жестом закрыла своей костлявой рукой глаза и тихонько захныкала; между пальцами у ней посыпались мелкие старческие слезки, падая на бутылочного цвета полинялое шерстяное платье.

— Да о чем вы ссорились с Фатевной? — спросил я, чтобы прервать наступившую тяжелую паузу. — Садитесь, пожалуйста.

Глафира присела на кончик стула, неторопливо высморкалась в кончик клетчатого

платочка и, смахнув им же слезы и еще раз оглянувшись кругом, таинственно заговорила:

— Съела она меня, Фатевна-то, поедом съела, как пила день и ночь пилит... Со свету сживает. Просто проходу нет... И из-за чего?.. Просто головушки не приложу...

— Да давеча-то о чем вы ссорились?

— Давеча-то?.. Долго это вам рассказывать будет, да и рассказывать-то, пожалуй, не о чем. Просто Фатевна бесится, как псица другая...

При последних словах Глафира улыбнулась сквозь дрожавшие еще на ресницах слезы и, поправив концы шерстяного платка, которым была повязана у ней голова, заговорила тем особенным тягучим речитативом, каким умеют говорить только странники, разные божьи люди и особенно сказатели раскольничьих стихов.

— Нас с Фатевной и судить — так не рассудить, сударь, ежели по-настоящему все рассказывать-то, а так, к слову пришлось, так уж обскажу вам... Учитель к нам в Мугай новый приехал, Пом ней Агафоныч Краснопевцев.

Слышали? Уж успела Фатевна отлепортовать... Этакое жало змеиное, подумаешь! Ну, так я про учителя-то начала... Из-за него, собственно, все и дело у нас вышло. Парень он молодой, холостой. Из себя-то не то, чтобы уж очень завидный, ну, а которая девиса зачичеревела, так ей даже очень интересно и за такого мужа выскочить. Все же как-никак мужчинка, хоть и пьет он... От попа Андроника не выходит, так там живмя и живет: Паньша да он. Хорошо. А как приехал учитель к нам в Мугай, поискал, поискал фатеры, да, не хуже — не лучше, к Фатевне на хлебы и стань... Я еще подивилась тогда, зачем она его пустила: какая от учителя корысть ей, ежели он, можно сказать, одной водкой живет, а тут и вышло, что Фатевна-то похитрее нас всех будет. Она ведь его чуть-чуть не женила на своем косом-то дереве, на Феклисте... Ей-богу!.. И бессовестная же эта Фатевна... Ведь совсем загубила бы парня. Помпей теперь убирал бы навоз да чистил конюшни у Фатев-ны, ежели бы не я. Грешный человек, пожалела я его и расстроила все дело... Ну, натурально, Помпей-то, как очнулся, чуть мне не в ноги, а по-

том уж... И рассказывать-то даже неприятно! Этот же самый Помпей большие мне неприятности делает, потому, не поя, не кормя, ворога не наживешь. За моего добро Помпей на меня же и остребенился. Ей-богу!.. Он в церкви поет со своими парнишками, и ничего, хорошо поет. Как-то, этак в великом посту, сидим мы на именинах у Ивана Прохорыча, у надзирателя... служащие, духовные, старшина. Хорошо. Только Помпей подходит ко мне, а сам уже за галстук успел налить, подходит и говорит: «А ты, — говорит, — Глафира Марковна, — так и тычет меня, — ты, — говорит, — зачем про меня да про косую Феклисту стихи написала?» И пошел и пошел... Смешно так говорит, все хохочут, мне совестно, а он: «Вот ты, Глафира, умрешь скоро, так: мы тебя отпевать с вершка будем... За каждый вершок отдельно плати, потому у тебя рост вон какой!» Очень он тогда меня сконфузил...

— А стихи-то вы про него все-таки написали?

— Вот даже нисколько не писала. Хоть сейчас икону сниму! Про Фатевну действительно составила стишок, да еще про Андроника, ну,

тут и про Помпея будто помянула немножко. А Помпей-то ничего бы и не знал, ежели бы его поп Андроник не настроил. Случай тут маленький вышел... Смешно и рассказывать-то!

Глафира перевела дух и улыбнулась.

— Какой же случай-то, Глафира Марковна?

— Да так, пустяки... Я и про Андроника-то не писала ничего, а только про Фатевну, ну, а Андронику покажись это обидно, вот он и напустил на меня и Помпея и Паньшу. Напьются у Андроника да ночью — к нашему дому... У Паньши вон какая пасть-то, как заорет: «...и сотвори рабе твоей Глафире вечную память...», — а потом вдвоем и затянут: «Вечная память...» К старшине ходила уж жаловаться на них, потому житья мне не стало от них. Хорошо... Так вот, я про случай-то начала вам рассказывать... Лошадник ведь Андроник-то у нас, страшный лошадник. И была у него вороная кобылка, грива на левую сторону и копыта стаканчиками. Мягкие у ней были копыт-цы-то, не больно важные, ну, а бегала она ничего — как следует лошади. Ну, и приглянулась эта самая кобылка нашей Фатевне, а уж ей, что приглянется, вынь да положь. Ведь

обошла она попа Андроника, кругом обошла... Тот совсем и не думал лошади продавать, а тут спустил ее Фатевне за пятьдесят целковых. Хорошо. Привела Фатевна лошадь, сгоняла на ней раза два в город, а потом и продала ее новому нашему попу, отцу Георгию, за сто целковеньких. Ей-богу... При мне и продавала. Чистый цыган, куда, и цыгану не сделать супротив Фатевны! Приведет это попа к себе и давай представляться с своей кобылкой: под брюхом у ней пролезает, верхом гоняет... Ну, и продала! А попу-то Андронику это вдвойне обидно, потому пятьдесят целковых, первое, жаль, а второе, на его же кобылке теперь отец Георгий по всему заводу разъезжает. А у них промежду собой контры выходят: сильно рознят. Ну, я все это и описала про Фатевну да еще прибавила, как она дочь свою хотела выдать за Помпея... На меня все и накинулись. Из-за этого самого и сегодня Фатевна лаялась на меня. А мне что: все равно я уйду от нее, хоть она озолоти меня, не останусь..

В каких-нибудь полчаса Глафира высыпала все мугайские новости, которых было

очень немного: назначили в Мугай нового управителя, какого-то француза; сгорел дом у бухгалтера, поймали весной у бучила щуку в полтора аршина, поп Андроник чуть не утонул вместе с учителем и Паньшей и т. д. Рассказывала она все с мельчайшими подробностями, как умеют рассказывать только самые записные сплетницы. Меня всегда удивляли аналитические особенности Глафириных мозгов, потому что в ее маленькой головке все впечатления действительности переваривались с той отчетливой тонкостью, с какой идут только химические реакции. Этот оригинальный ум работал, как серная кислота, разлагая беспощадным образом все, что попадало под руку. Между прочим, с ловкостью настоящего дипломата Глафира осведомилась, надолго ли я приехал в Мугай и зачем.

— Наболтала я у вас с три короба, — заговорила Глафира, поднимаясь с места. — Уж извините, пожалуйста... Поговорила с чужим-то человеком — все же на сердце легче. Не привыкла я к мужицкому-то обращенью, как Фатевна, вот меня и тянет к вам... Гели бы покойничек тятенька был жив, да я и смот-

реть-то на это змеиное жало не стала бы, на Фатевну-то.

Между Фатевной и Глафирой существовала какая-то почти органическая ненависть, которая проявлялась в самых ярких и крикливых формах, а между тем эти две женщины жили под одной кровлей не один десяток лет, мало этого, кажется, даже не могли существовать одна без другой. Что их связывало, трудно сказать, но эта невозможная комбинация продолжала существовать, как существует многое другое на белом свете, Глафира происходила из обедневшего управительского рода, кажется, имела маленький капитальчик про черный день и существовала исключительно работой собственных рук. Занимая крошечную каморку где-то в под сарайной[341] она вечно возилась с полосами ситца и других материй, из которых выкраивала заводским щеголихам самые модные фасоны. В своей специальности Глафира настолько «наварлыжилась», что могла существовать вполне безбедно, конечно, пока бог грехам терпит, потому что вечно у ней что-нибудь болело, и она вечно лечилась по всевозможным рецептам.

В ее лице сгруппировались всевозможные болезни, какие только в состоянии придумать медицина, и, по всей вероятности, Глафира давно отошла бы в селения праведных, если бы ее не поддерживала упорная и ожесточенная борьба с Фатевной, которая бодрила и крепила ее лучше всевозможных лекарств.

Фатевна являлась полной противоположностью Глафиры, как типичная представительница разбитной, проворной заводской бабы, которая сумела не только выбиться из остальной заводской босоты и наготы, а, поднявшись на известную экономическую высоту, отвоевала себе совершенно особенное место в природе. Она вела небольшую торговлишку, торговала всяким товаром, какой подвертывался под руку за сходную цену: зимой — хлебом, осенью — крестьянским товаром, в Петровки — косами-литовками и т. д. Особой специальностью Фатевны была торговля лошадьми, вернее, барышничество, потому что она чаще меняла их с непременной придачей. За лошадьми она ездила на конные ярмарки, сама выбирала из пригонных киргизских табунов подходящих скотов, сама

объезжала их, а потом неизменно сбывала их какому-нибудь хорошему человеку, каких у ней было по заводам целая «пропасть». Кроме этого, Фатевна брала на себя всевозможные комиссии, и брала часто не из расчета, а просто из любви к искусству: понадобилось жене плотинного переменить пеструю корову непременно на бурую — сейчас к Фатевне; у француза-управителя для ребенка искали дойную козу — и тут без Фатевны дело не обошлось; достать лесу, обрядить невесту, найти писаря в волость — все это Фатевна орудовала в лучшем виде, как никто другой. У себя дома она решила «женский вопрос» по-своему и держала Денисыча совсем в черном теле, предоставив ему самую тяжелую домашнюю работу, в то время, как сама разъезжала по ярмаркам, покупала, меняла, объезжала лошадей и вечно что-нибудь промышляла и гоношила. Нужно, однако, оговориться: по праздникам, когда Денисыч успевал где-нибудь напиться, он вдруг начинал чувствовать себя настоящим, заправским мужем, бушевал, ругался и даже колотил Фатевну чем попадя. В таких исключительных случаях Фа-

тевна принималась неистово голосить и, простоволосая и с исцарапанным лицом, выбегала на улицу, поднимая на ноги всю ее. Денисыча связывали, усмиряли домашними средствами, и этот примерный муж опять вез свой воз как ни в чем не бывало. Меня всегда удивляло поведение Фатевны с пьяным мужем, которого она непременно задирала, точно сама напрашивалась на побои. Может быть, в этом случае Фатевна только платила известную дань своему все-таки бабьему положению и хоть «на час места» желала быть такой же бабой, как все другие заводские бабы: ей нравилось дразнить пьяного Денисыча, чтобы потом поголосить вдоволь на улице.

— Да ведь он мне муж, дева! — объяснила однажды Фатевна эту аномалию в своей жизни.

Глава 2

Из окон дома Фатевны открывался великолепный вид на Мугайский завод, главным образом на ту его часть, которая расположилась не берегам заводского пруда. Домик Фатевны стоял на береговом угоре, недалеко от

заводской плотины. Таких заводов, как Мугайский, по восточному склону Урала рассыпано несколько десятков, и все они походят один на другой в общих чертах с той разницей, какую вносит природа: на юге и на севере Урала горы выше и живописнее, а в средней части представляют только большой величины холмы, разбросанные по зеленому простору, без всякого плана и порядка, как высыпанные из мешка ковриги хлеба. Горы, окружавшие Мугайский завод, или попросту Мугай, были невысоки и сплошь покрыты вечнозелеными ельниками; вдали, повитые синеватой мглой, они кучились, как темные грозовые облака, выплывавшие из-за горизонта круглившимися линиями. Широкая полоса заводского пруда вдавалась между горами широким светлым языком; по берегам пруда заводские домики выровнялись в правильные линии, образуя широкие, убитые заводским шлаком улицы. Можно было пожалеть только об одном, что заводские дома выходили на пруд, большею частью своими задворками и огородами, за небольшим числом исключений, вроде домика Фатевны. Если бы

повернуть все дома фасадом к пруду, вид на завод много выиграл бы относительно красоты общего вида, но русский человек как-то меньше всего заботится о такой красоте. Другим недостатком постройки являлось полное отсутствие садов. Панорама жилья поражала своим голым видом; только два — три кедрика одиноко торчали кое-где в огородах, как позабытые смертью инвалиды. Крайние постройки отделяла от леса неширокая полоса пашен и кулиг[342]. Особенно хорош был вид на Мугай рано утром, когда весь пруд еще дымился туманом.

Заводские домики, по своей архитектуре, представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами, вернее сказать, здесь перемешались и те и другие. Как особенность местной архитектуры можно отметить только обычай крыть дворы наглухо. В лесной полосе России, где нашел себе приют раскол, большинство домов выстроено таким образом, что объясняется, раз — обилием строительного лесного материала, а второе — исторически сложившейся привычкой жить «усторожливо». Каждый

двор представляет собой небольшую деревянную крепостцу, попасть в которую непрошеному гостю очень трудно; так строится каждый справный мужик, хотя особенной нужды в таких усторожливых постройках и не имеется. Непривычному человеку даже неприятно, отворив ворота, попадать в кромешную тьму, где долго глаз не может отыскать отдельные предметы.

Пруд был перехвачен широкой плотиной, из-за которой выставлялись дымившие фабричные трубы. На левой стороне пруда стояла деревянная низенькая церковь, совсем утопавшая в зелени лип и черемух; напротив нее — заводская контора с белыми колоннами у подъезда. В конце небольшой квадратной площади, которая отделяла собственно фабрику от «базара», как забытый в лесу гриб, сидел старый господский дом. На правой стороне пруда, у подножия оголенной горки, строилась новая каменная церковь; за ней, вверх по горе, тянулись черные угольные валы. Сейчас за плотиной местность сильно понижалась, и бойкая горная речонка Мугай весело разливалась в своих глинистых плоских

берегах, образуя широкую и красивую излучину. Здесь живописно рассажались самые бедные избушки, и, между прочим, здесь же стоял одноэтажный деревянный домик попа Андроника, глядевшийся в Мугай своими пятью большими окнами с крепкими новыми ставнями.

Отдохнув после дороги, вечерком я отправился проведать старого знакомого, попа Андроника. От дома Фатевны сначала нужно было пройти по берегу пруда, потом обогнуть фабрику, перейти переброшенный через Мугай деревянный мостик и спуститься вниз по реке. Когда я поравнялся с фабрикой, отдали свисток, — это был конец трудового фабричного дня, — и из ворот фабричного двора высыпала пестрая и чумазая толпа рабочих. Среди устало бредших мастеровых весело толкались подростки и ребята лет десяти, которых не могла угомонить даже двенадцатичасовая фабричная работа; пестрядевые рубахи, войлочные шляпы и фуражки, потные красные лица и устало висевшие руки — все было точно пропитано заводской сажей. Отдельной артелкой торопливо бежали поденщицы и

дровосушки; слышался кокетливый визг и молодой беззаботный смех. Я шел за этой толпой по мосту и затем свернул по берегу Мугая. Около берега, засучив штанишки выше колен, стояли в воде мальчики с длинными удочками; мутная вспененная вода катилась мимо них, унося с собой щепы и разный хлам. А вот и домик о. Андроника, с крепкими воротами и высоким забором; из-за него зелеными шапками поднимались кусты рябины. Поп Андроник жил всегда крепко, и нечего было думать напасть на него врасплох: ворота, все двери и окна всегда были на запоре.

— Кто там? — послышался чей-то незнакомый голос, когда я постучался в ворота.

— Отец Андроник дома?

Мой стук поднял страшный лай двух цепных собак, потом загремел железный засов с железной цепью, и калитка наконец отворилась. Предо мной стоял молодой человек, длинный и худой, с болезненным тонким лицом, казинетовое коротенькое пальтецо лоснилось около карманов и по борту, парусиновые панталоны были заправлены в сапоги, фуражки на голове не было. По описанию

Глафиры, я узнал в молодом человеке учителя Краснопевцева, который смотрел на меня прищуренными маленькими глазами вызывающе и насмешливо.

— Сколько лет, сколько зим... — загремел хриплый бас о. Андроника, который в одном белье и жилете поверх ситцевой розовой рубашки патриархально сидел на крылечке. — Откуда, куда и зачем? Ну, здравствуй, братчик...

Поп Андроник был невысок ростом, коренаст и плечист; его сильную, на диво сколоченную фигуру портил только большой живот, сильно выпиравший из-под шелкового атласного жилета, какие носили франты лет сорок тому назад. Большая голова о Андроника с висевшими космами темных волос, сильно прохваченных сединою, придавала ему суровый вид. Большой, мясистый нос, крупные губы, густые сросшиеся брови и одутловатые щеки, обильно обросшие редкой щетинистой бородой, еще усиливали первое впечатление суровости. Только когда поп Андроник начинал громогласно хохотать, вздрагивая всем телом и поднимая жирные плечи, он превра-

щался в оригинального и добродушного человека, которому природа дала суровую физиономию бог знает с какой целью. Впрочем, этот массивный старик, сделанный изо всего дерева, не был чужд некоторых недостатков и, между прочим, любил задать тону своей представительной фигурой, пока сам первый не начинал хохотать. А посмеяться поп Андроник любил и смеялся мастерски, так что, глядя на него, самому хотелось тоже хохотать. От низких басовых нот он быстро переходил к теноровым и, закрыв глаза, заливался самым высшим гласом. В семинарии, во времена оны, он слыл за первого силача, но теперь сильно постарел, обрюзг и просто зажирел.

— Это Паганини, братчик... — коротко отрекомендовал о. Андроник учителя. — Он у меня с Паньшей такие концерты задает, что отдай все!

Около сарая я только теперь заметил сгорбленную жидкокостную фигуру самого Паньши, который, несмотря на летний день, был облечен в толстый драповый подрясник цвета Bismark furioso[343]. Одной рукой Пань-

ша придерживал расходившиеся полы своего подрясника, а другой прятал за спиной рваную баранью шапку, в которой ходил и зиму и лето. Испитое, смуглое лицо Паньши с жиденькой растительностью на подбородке и спутанными на голове длинными волосами того же цвета Bismark furioso, длинный, смотревший в рюмку нос — все это, взятое вместе с общей протяженной сложенностью Паньши, полным отсутствием живота, ввалившейся грудью, острыми, угловатыми плечами и несоразмерно длинными руками, производило тяжелое и неприятное впечатление. Это был настоящий дьячок старой школы, униженный и льстивый, отдававший чем-то пришибленным. Только небольшие темные глазки, смотревшие льстиво и дерзко, придавали физиономии Паньши оригинальное выражение.

— Мы тут, братчик, пса усмиряем, — объяснил мне о. Андроник, тыкая пальцем в согнутую фигуру Паньши. — Он похвастался, что подойдет к Нигеру...

— И подойду, отец Андроник, — отозвался Паньша, вынимая из-за спины свою шапку. —

Я многих собак укрощал, а вашего Нигера...

— Не хвастай, братчик, — загудел о. Андроник. — Нигер тебя пополам перекусит...

— Отец Андроник, позвольте-с... Одно движение — и усмирю.

— О, черт с тобой, усмиряй! — согласился о. Андроник. — Только я не отвечаю, если Нигер тебе нос откусит... Братчики, будьте свидетелями!..

— И пойду... да!.. Вы не смейтесь, отец Андроник... одно движение...

Физиономии действующих лиц светились подозрительным румянцем; Паньша, по-видимому, не совсем был уверен в своих длинных, подгибавшихся ногах, а Паганини забавно моргал слипавшимися глазами. Нигер, пестрая собака-дворняга, лежал у своей конуры, положив большую голову между передними лапами, и подозрительно-вызывающе помахивал своим пушистым белым хвостом. Он точно понимал, что речь идет о нем. Две других собаки, прикованные к сараю, внимательно наблюдали за каждым движением Паньши, вероятно, испытывая большое искушение запустить свои белые зубы в тощую

плоть укротителя. Получив разрешение в окончательной форме, Паньша сделал несколько быстрых шагов к Нигеру и сейчас же отскочил назад, болтая в воздухе правой рукой.

— Что? Я тебе говорил, братчик? — торжествовал о. Андроник, колыхаясь всем телом. — Ай да Нигер, молодец!..

— Перст, отец Андроник... ваша собачка мне укусила перст... — лепетал Паньша, обертывая раненую руку в грязный носовой платок.

— Дурак! Благодари бога, что она тебе голову не оторвала... Братчики, пойдемте в комнаты, — предложил о. Андроник, поднимаясь с крылечка. — Паганини, ты куда?

— А я домой... — нерешительно заявил Паганини.

— Врешь, братчик... Мы еще концерт устроим...

Двор у о. Андроника был открытый, но устроен хозяйственно. Крепкие службы, конюшни, баня, небольшой садик, где любил хозяин пить чай летом; под навесом стояли крепкая телега, дорожная повозка и легкая

железная долгушка, выкрашенная зеленой краской. Сажен двадцать сухих березовых дров занимали задний план; ближе были сложены какие-то бревна и свежий тес. Где-то кудахтали куры и весело горланил голенастый кохинхинский петух; из отворенных дверей конюшни доносился храп и топот жевавших сено лошадей. В густой траве, в черте садика, лежала привязанная к изгороди коза с двумя козлятами. Вообще, по всему был виден хозяйский заботливый глаз. Самый дом был устроен по-старинному, с низенькими теплыми комнатами, без форточек и с высокими порогами в каждой двери. На окнах стояли припечатанные сургучом ведерные бутыли с наливками. Березовая мебель чинно стояла около стен; широкий диван в гостиной, с придавленным сиденьем, свидетельствовал о гостеприимном характере своего хозяина. Но в этой приличной обстановке уютных, теплых комнат поповского дома чего-то недоставало — недоставало тех мелочей и пустяков, какие вносит с собой женская рука, оживляя мертвую обстановку. Даже излишняя чистота и опрятность комнаты отдавали чем-то нежи-

лым и мертвым, как у всех старых холостяков. Поп Андроник овдовел в молодых летах, детей не имел, и теперь всем хозяйством заправляла у него какая-то дальняя родственница, совсем бесцветная, молчаливая старушка, походившая на монахиню. Говорили, что поп Андроник скуп, как кощей, и дрожит над каждой копейкой. Но я лично очень любил его, как вырождающийся тип попа старого покроя, — именно попа, а не батюшки. К числу особенностей о. Андроника принадлежала его слабость к часам. У него был целый ассортимент карманных часов, начиная со старинной луковицы и кончая золотыми часами новейшей конструкции. Кроме того, в каждой комнате о. Андроник повесил по стенным часам и строго наблюдал, чтобы все часы в доме ходили из минуты в минуту, что стоило ему не только больших хлопот, но и порядочных издержек.

— Ну, вы тут посидите, а я схожу, распоряжусь... — говорил о. Андроник, вводя нас в свою гостиную.

Через пять минут он явился, облеченный в синий люстриновый подрясник и с бутылка-

ми в руках. Паганини приятно осклабился и толкнул локтем Паньшу, который не знал, куда ему деваться с своей шапкой.

— А где ты остановился? — спросил меня о. Андроник, устанавливая бутылки на угловом столике. — У этой архибестии Фатевны?

Имя Фатевны произвело сенсацию. Паганини усиленно заморгал глазами, а Паньша торопливо сунул свою шапку под стул.

— Она, брат, меня так оплела... — жаловался о. Андроник, поднимая брови. — Слышал, братчик?

— Слышал мельком...

— Да это еще ничего, что оплела, а взяла да мою-то лошадь отцу Егору и продала... И про Егорку слышал? Тоже хорош с Фатевной-то — два сапога пара. Может, Глафира и стихи про меня читала?

Отец Андроник рассердился и тяжело засопел носом, но потом улыбнулся и, тряхнув головой, добродушно забасил:

— А у меня был один знакомый стихотворец... Ей-богу! Вот как теперь тебя, вижу его, братчик. Я еще тогда в Кунгур ездил, к брату в гости. Ну, как-то собралась компания. Сидим.

И стихотворец сидит с нами. Он по акцизу служил... Выпили. Я и говорю ему: «А ну-ка, братчик, скажи стихи!» Поддразнить его хотел, а он сейчас и брякнул:

Вижу, вижу Даму рыжу,
Я ее ненавижу...

— Это не стихи, а рубленая говядина, — вяло заметил Паганини, наливая себе рюмку водки.

— Врешь, братчик! — защищался обиженный старик. — Ты ничего не понимаешь в стихах... Говорят тебе, настоящий стихотворец был. А Глафира меня, говорят, всего описала...

Паньша успел себе налить рюмку и умильно поглядывал на владыку, выжидая позволения.

— Батюшка, отец Андроник, благословите... — нерешительно проговорил он.

— Бог тебя благословит на хорошее, а на худее сам догадаешься... — пошутил старик и первый раскатился самым завидным хохотом. — Ну, чего ты ко мне пристал? Поставлено — пей...

— А я, батюшка, отец Андроник, моту сконфузить и Фатевну и Глафиру, — объяснял Паньша, опрокидывая рюмку. — Ей-богу, могу сконфузить...

— Чем ты их сконфузишь?

— Очень просто, батюшка, отец Андроник... Даже какую угодно высокую даму могу сконфузить. Подойду и скажу: вы тварь.

— А она тебе скажет: ты дурак... Ха-ха-ха!..

— Нет, позвольте, батюшка, отец Андроник... У меня есть доказательство: Адама бог создал из персти земной, а Еву сотворил из ребра, следовательно, всякая женщина — тварь... Я могу сконфузить всякую женщину в большой компании.

— Погоди, вот нас с тобой Егорка ужо так сконфузит, что небо с овчину покажется, — задумчиво проговорил о. Андроник и опять нахмурил брови. — Заведется же такой человек, подумаешь... а?..

На угольном столике, кроме водки и домашней наливки, появились чисто поповские вина — тенериф и лиссабонское, но они служили только для декорации, центр тяжести оставался по-прежнему в водке. Сам хозя-

ин сначала отказывался от выпивки, но, когда речь зашла об о. Егоре, он залпом выпил несколько рюмок, точно стараясь залить какого-то червяка, который мучительно сосал его. Пока Паньши болтал разный вздор, а Паганини ходил из угла в угол, как маятник, старик как-то уныло молчал. В нем не было прежней беспечности и добродушия, лицо было озабочено, в глазах светилась какая-то напряженная мысль, которая не хотела никак выходить.

— О чем вы так задумались, отец Андроник? — спросил я.

— Я?.. Гм…

Старик почесал в затылке и тяжело вздохнул.

— Последние времена, братчик, пришли… — уныло ответил он, опять наливая рюмку. — Кончено!..

— Что кончено?

— Ну, все кончено… Я все про Егора-то толкую, братчик. Приехал он к нам без году неделя, а уж всех прибрал к рукам. Проворный человек… хоть и ни с чем пирог.

— То есть как же это так? И проворный и

ни с чем пирог?

— А уж так: ума настоящего в нем мало, а хитрости пропасть! Верно, братчик... Такие нынче люди пошли... Ведь и смотреть не на что, вот вроде Паганини — мозглявый такой, худенький, а так всех и загребает. По-настоящему-то я настоятель, а он мой помощник... Так? А на деле все так выходит, что чего он захочет, то и будет. И сам не знаю, как это он устраивает. Нарочно в свою сторону гну, а глядишь, все по-Егоркиному. Я даже, братчик, иногда боюсь его... Ей-богу!.. Ласковый такой, обходительный, а сам веревки из всех вьет. Взять теперь хоть такое дело: сборы. Жалованьишко у нас месячное — двенадцать с полтиной... ну, доходы там кое-какие, а все-таки в общей сложности пустяки получаешь. Я раньше в деревне служил и привык к сборам: петровское беру, ругу[344] беру, осеннее беру... Где парочку яичек, где масла ложку, где овса, — оно и сбежится малую толику. Другая баба заартачится, а я ей: «Ой, баба, баба, попу жалеешь, а умрешь — все останется!..» Ха-ха!.. Ну, бабенка испугается и лишнюю ложку масла накинет. В другой раз лаской берешь: «А

ведь ты, Матрена, ровно помолодела... а?..» Опять баба и расступится яичком попу Андронику за ласковое слово. Так-то... Нелегко нашему брату добыча-то достается, ежели разобрать; тоже живой человек — и язык переболтается. Хорошо. Приехал отец Егор и все посвоему повернул: «Не хочу осеннее да петровское собирать». «Врешь, — думаю, — жрать захочешь, даром, что хитер». Прошли Петровки, а он и в ус не дует — сидит да газету читает у окошечка. Что бы вы думали, бабенки все это пронюхали и на меня, как осы: «Вот отец Егор не собирает петровского... новое положение вышло». «Дуры вы, говорю, этакие, никакого нового положения не вышло, а отец Егор вас просто оплетает...» Куда! слышать ничего не хотят! Ведь я половины не собрал, а он сидит с газетой да посмеивается... Вот он какой гусь!..

— Что же, отец Андроник, вольному воля. Нельзя же его заставить насильно петровское собирать...

— Нет, ты постой, братчик, послушай дальше-то... Деньгу и отец Егер любит; вот он и смозговал такую штуку: придет мужик сва-

дьбу венчать, — тут его отец Егор и оборудует, да еще заставит ходить недели две. Я яичком беру, а он рубликом, да еще лучше его нет: мы, дескать, не христарадничаем, не просим по подоконью, как старый дурак, поп Андроник. Да это еще бы ничего, а то обидно, что мужики его же и уважают, Егора.

— Очень мозговатый человек отец Егор, — резюмировал все сказанное Паньша.

— И везде он нос сует, везде ему дело, — продолжал сердито о. Андроник, отпыхивая, как тульский, давно не луженный самовар. — Взять хоть теперь Паганини... Эй, Паганини, про тебя говорю!

— Ну? — апатично отозвался Паганини, продолжая шагать из угла в угол.

— Чего нукать-то, братчик... Этот Егор и Паганини подвел животы. В школе законоучителем состою я, как настоятель, ну, какое ему дело до школы? — так нет, и в школу пролез. Чуть не каждый день таскался в школу и до своего добился: произвел Паганини в нигилисты и даже чуть с места не сжил... Настоящий нокоть, какой лошадей берет!.. А потом в волость повадился: как сход, он тут как тут.

Проповеди в церкви каждое воскресенье говорит, какие-то книжонки даром раздает мужикам, раскольников увещает. И как только ему не лень во всякую дыру свой нос совать...

— Иезуит... — промычал Паганини, наливая рюмку.

— Мазепа, — прибавил Паньша.

— Нет, Гришка Отрепьев! — громогласно решил о. Андроник и захохотал прежним раскатистым смехом.

Бесцветная старушка подала на тарелочках разной домашней поповской закуски: соленых грибков, паюсной икры, пирожков с капустой, и разговор о хитростях и подвохах о. Егора на время умолк. Говорили о разных разностях, о старых знакомых, о дороговизне на харчи и т. д. Паганини вытащил откуда-то свою скрипку и довольно фальшиво сыграл на ней сначала вальс «Il bacio», а потом какую-то мудреную херувимскую «Раззоренную». Паньша и о. Андроник подпевали. Каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к такому духовному пению, и я с особенным удовольствием слушал это оригинальное трио. Паньша прижал-

ся в уголок, по обыкновению, прихватив одной рукой полы своего рыжего подрясника, а другой закрывая рот. Но из его шершавой глотки с выдававшимся кадыком выливались такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что хотелось слушать без конца. Это был настоящий, богатейший баритон, который то спускался низкими, мягкими октавами прямо в душу, то с силой поднимался вверх и звенел, как туго натянутая струна. Паганини исполнял на своей скрипке теноровую партию. Волосы у него свалились на лоб, ноги немного согнулись в коленях, лицо побледнело. Отец Андроник давил густой октавой, плавно и с подавленной силой вершившей оригинальную мелодию. Я ничего не ожидал подобного и слушал, затаив дыхание. Можно было только пожалеть, что некому было срисовать эту своеобразную группу певцов. Когда пение кончилось, наступила тяжелая пауза. У о. Андроника на глазах блестели слезы, и он тихо улыбался своей добродушной, стариковской улыбкой.

— Хорошо, братчик... — проговорил наконец старик. — Паганини, вкусим по единой!

Паньша, ты сам знаешь, что делать...

— Нет, вы посмотрите на скрипку, — приставал ко мне Паньша с скрипкой Паганини, — Это не скрипка, а актриса... Да!..

Скрипка была из самых плохих и была выкрашена, как рисуют на вывесках скорняков лисьи шкурки: бока ярко-желтые, а средина крестом покрыта густой черной краской. Заметив мой недоверчивый взгляд, Паньша обратил внимание на какой-то стеклянный кошачий глаз, вделанный в кобылку, что, по его мнению, служило для скрипок чем-то вроде серебряной медали восемьдесят четвертой пробы.

— Нет, это особенная скрипка... — доказывал Паньша азартно и с непоследовательностью совсем пьяного человека начал рассказывать о каком-то необыкновенном органе, который провозили лет десять тому назад через Мугай одному самодуру-заводчику. — Миллион стоил орган-то! — уверял Паньша, стараясь сохранить равновесие.

— А сколько соврал, братчик?

— Батьшко, отец Андроник, миллион... Своими глазами его видел.

— Может быть, резьба какая-нибудь, — старался догадаться Паганини, желая поверить совсем несбыточной цифре.

— И резьба и прочее, а главное — в органе был один вал... сизый!..

Отец Андроник чуть не задохся от смеха: сизый вал действительно был неподражаем. Вранье Паньши развеселило старика, и остаток вечера прошел в самой непринужденной болтовне, причем даже о. Егор оказался совсем не таким уж мозговитым человеком, чтобы его перемозговать нельзя было. Глафиру о. Андроник называл скрипкой и громогласно хохотал на целый квартал, так что вздрагивали даже стекла в рамах, а бесцветная старушка только охала и крестилась в соседней комнате.

Домой вернулся я поздно ночью. Все кругом давно спало мертвым сном, только глухо гудела фабрика, далеко рассыпая из высоких труб снопы ярких искр. Ярко-красное пламя вырывалось широкими языками из доменных жерл и жадно лизало холодный ночной воздух. Где-то с подавленным визгом резалось холодное железо, и тяжело громыхали

чугунные валы, колеса и шестерни, заставляя вздрагивать самую землю, точно по ней кто топал могучей ногой. Распахнув окно на пруд, я долго любовался развертывавшейся далекой горной панорамой, потонувшей в белом тумане... Сверху трепетными волнами лился фосфорический свет, дрожавший и переливавшийся в прозрачной синеве голубого северного неба. Массы гор точно выросли, а зубчатая линия хвойного леса красиво вырезывала ближайшие крутизны и прикрутости. Летние уральские ночи безумно хороши, как хорош бывает молодой крепкий сон, который нагоняет в душу вереницу светлых видений и чудных призраков. Я долго сидел в своем окне, и в моих ушах еще стояла стонавшая мелодия «Раззоренной».

На берегу сидела какая-то счастливая парочка, слышался шепот и сдержанный смех, а там, за прудом, кто-то неистово кричал «караул», как может кричать только человек, которого режут.

Глава 3

В Мугайском заводе мне пришлось прожить несколько дней. Между прочим, мне нуж-

но было достать кое-какие статистические сведения из метрических книг. Обратился я было к Андронику, но тот только рукой махнул и послал меня к Егорке. Делать нечего, прямо от Андроника я пошел к домику о. Георгия, стоявшему рядом с избушкой Паньши. Эта избушка сильно покосилась и одним углом совсем вросла в землю; крыша сквозила прогнившими дырами, одно окно было заклеено синей сахарной бумагой, точно подбитый глаз. Рядом с этим разлагавшимся убожеством чистенький домик, в котором обитал о. Георгий, производил самое приятное впечатление: новенький, с светлыми окнами, с железной крышей, с белыми занавесками и левкоями на подоконниках, он так и дышал жизнью и довольством. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил сам о. Георгий, разговаривая с каким-то мужиком. Мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

— Не могу, мой друг, — мягко объяснял батюшка, не замечая меня. — Никак не могу... Если сбавлю тебе, должен буду сбавлять и

другим. Понял?

— Андроник дешевле венчает... — говорил «друг мой», почесывая в затылке.

— Что же, я очень рад... Ты и обратись к отцу Андронику. А я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради истинного Христа! — взмолился наконец мужик, хлопая себя руками по бедрам. — Ах, какой ты, право... Время-то теперь какое... а?.. Ведь страда настанет, каждый час дорог, а ты: «подожди неделю»... Да в неделю-то...

— Не могу, не могу, друг мой...

Заметив меня, о. Георгий немного смутился и, сказав мужику, чтобы он приходил в другой раз, пытливо посмотрел на меня своими иззелена-серыми глазами и проговорил самым любезным тоном:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и коротко объяснил цель моего посещения.

— А., очень рад, очень рад!.. — торопливо заговорил о. Георгий, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если чем-нибудь могу быть вам полезен... Я тоже

немножко занимаюсь статистикой. Пойдемте в комнаты.

Батюшка направился к новенькому крылечку, блестевшему самой благочестивой чистотой. Сам о. Георгий был еще совсем юноша, лет двадцати пяти, не больше, с бледным, красивым лицом и окладистой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную, сухощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Георгий меньше всего походил на русского попа. Крахмальные, безукоризненно белые воротнички и летние панталоны из чесучи, выставлявшиеся из-под подрясника, красноречиво свидетельствовали о несомненной принадлежности о. Георгия к новому типу русских батюшек. Голос у о. Георгия был мягкий и певучий, не то, что хриплая, перепитая октава о. Андроника; двигался он неслышными, торопливыми шагами, как монастырская послушница. Вообще, первое впечатление о. Георгий произвел самое подкупающее, только выражение бледного лица было неподвижно, улыбка неестественно ласкова, и взгляд больших глаз холоден. Забежав немного вперед, о.

Георгий с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда, через чистенькую гостиную с роялем у одной стены, провел в свой кабинет — светлую угловую комнату. Здесь все дышало такой милой, рабочей и серьезной простотой: у окна стоял письменный стол, заваленный бумагами и кабинетными безделушками; у дверей шкап с книгами; в дальнем конце виднелись мягкая кушетка и круглый лакированный столик с раскрытой книгой и яшмовой пепельницей. Мягкий ковер у письменного стола и глубокое рабочее кресло довершали картину. Все было мило, прилично, ничего лишнего и уж совсем не по-поповски, как у о. Андроника; маленькое исключение представляли только висевшие на стенах премии «Нивы», но против этих премий бессильно борется целая Россия, а о. Георгию такое неведомое мещанство и бог простит.

— Садитесь вот сюда... — заговорил о. Георгий и еще раз выразил свое удовольствие быть полезным. — Я сам занимался некоторое время статистикой, но, знаете, разные служебные обязанности и житейские дрязги

совсем отвлекли меня от этих занятий.

Без лишних приступов о. Георгий прямо приступил к делу, то есть отправился к своему книгохранилищу и извлек оттуда целую кипу метрических книг, разных сводов, выборок и реестриков. Чистенькие, опрятные листочки были усыпаны рядами и колоннами цифр с итогами, средними выводами и различными математическими выкладками. Больше всего меня поразило в о. Георгии то обстоятельство, что он совсем не выспрашивал меня, кто я такой, откуда приехал, зачем мне эти цифры и т. д. Всякий другой провинциал на его месте вытянул бы все жилы, пока не разузнал бы всю подноготную до седьмого колена по восходящей и нисходящей линии, но о. Георгий держался настоящим европейцем и все время говорил только о деле. Вообще батюшка оказался очень развитым человеком, понюхавшим от всего; говорил он складно и просто, хотя в его речи и проскакивали некоторые поповские словечки, как «любочестие», «благоначинание» и др. Особенно затрудняли о. Георгия ударения на некоторые слова, и, несмотря на все усилия

говорить вполне правильно, он произносил: «случай», «средства», «предмет», «Современные Известия» и т. п. Но этот маленький недостаток вполне выкупался всеми другими достоинствами. Когда я преисполнился невольного уважения к о. Георгию и даже усомнился в истине нападок на него попа Андроника, он проговорил с нерешительной улыбкой:

— Я и в литературе пытал счастья... То есть, собственно, не в литературе в общем смысле слова, а просто в наших «Епархиальных Ведомостях», напечатал одну статейку. Я вам сейчас покажу ее.

Порывшись в шкапу, о. Георгий достал перегнутый пополам лист «Епархиальных Ведомостей» и подал его мне, обязательно развернув даже страницу, на которой было начало его статейки.

Я прочел заголовок: *«Еще благочестивый крестьянин»*.

— Конечно, «Еще благочестивый крестьянин» только слабый опыт и не выдержит серьезной критики, — скромничал о. Георгий, пока я пробегал его статейку.

Нам подали кофе. Прилично одетая горничная держала себя с достоинством, как и следует настоящей горничной у настоящих господ. Прихлебывая из своего стакана, о. Георгий долго распространялся на тему о печальном положении русского духовенства.

— Взять хоть ту сцену, свидетелем которой вы невольно сделались, — ораторствовал батюшка. — Что может быть тяжелее? А между тем поставьте себя на мое место... Нужно жить и хочется жить, как все другие трудящиеся люди, а между тем с первых же шагов, встречаешься с этой прозой жизни, в виде разных сборов, платы за требы и прочих дрязг нашей бытовой обстановки. Конечно, во многом, даже очень во многом виноваты и мы сами, что и вызывает относительно нас совершенно справедливые нарекания общества, но, с другой стороны, нужно же войти и в наше положение. Я хочу сказать о том, что необходимо поднять престиж русского духовенства, по меньшей мере, до того уровня, на котором стоит духовенство за границей... Простой народ не уважает попа за его сборы натурой и пятаками, интеллигенция — за

необразованность, купечество — за недостаток самоуважения. Мы компрометируем собственный сан из-за пятаков и ложек сметаны!.. По-моему, уж лучше сидеть голодом, чем добывать себе пропитание путем унижения.

В подтверждение своих слов о. Георгий мягко потянулся в своем кресле и хрустнул длинными белыми пальцами.

— Затем, наше духовенство живет слишком изолированной жизнью, — продолжал о. Георгий, ставя стакан на стол. — Мы, точно нарочно, отстраняем себя от всякой иной общественной деятельности, кроме узко-церковной, а между тем это наша прямая обязанность. Общественные дела, школа, земство — вот на первый раз и широкое поле для труда. Конечно, всякое начало обходится дорого, но нужно же когда-нибудь начинать. Важно, чтобы провести идею целиком, через все мелочи и пустяки...

— Вас желает видеть псаломщик, отец Георгий, — почтительно доложила горничная.

— Ага... Пусть войдет.

В дверях кабинета показалась протяженно сложенная фигура Паньши; он оторопел,

сдвинул в одно место свои громадные сапоги и напрасно старался удержать в приличном виде расходившиеся полы рыжего подрясника. Рядом с чистенькой и кошачьи опрятной фигурой о. Георгия, скромно охорашивавшегося в своем кресле, Паньша сегодня казался особенно жалок.

— Вы, отец Георгий, прислали за мной служанку... — нерешительно заговорил Паньша, бегая глазами по кабинету.

— Да, да... Вы приготовите к завтрашнему дню ведомость о родившихся и передадите ее вот им, — мягко проговорил о. Георгий, указывая глазами на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы с отцом Андроником собрались рыбки побродить, так я хотел уволиться у вас...

Паньша засопел носом и смолк, только пальцы руки, придерживавшие измызганный и захватанный край полы, усиленно перебирали какой-то лихорадочный мотив. В ответ на этот протест о. Георгий только немного приподнял свои плечи и покачал укоризненно головой.

— Я вас не задерживаю с отцом Андрони-

ком, но лучше было бы сначала представить ведомость о родившихся, — прибавил о. Георгий. — Ваша рыба, может, и подождет...

Паньша переложил свою шапку из руки в руку и с унынием уперся глазами в угол. «Вот тебе, дескать, о. Андроник, и рыбка... набродишь с ним!»

Когда Паньша удалился, вернее, выпятился в дверь, о. Георгий улыбнулся с печальным достоинством.

— Вот вам наше духовенство... полюбуйтесь!.. «Рыбку побродить»! Нечего сказать, хорошо... Впрочем! nomina odiosa sunt[345] это только к слову сказал.

Я стал прощаться. В гостиной мы встретили жену о. Георгия, молоденькую и красивую даму, о которой поп Андроник говорил, что у о. Егора и «попадья с музыкой», потому что Матушка играла на рояле. Молоденькая матушка хотя была тоже духовного родопроисхождения, но держала себя, как подобает настоящей светской даме. Летнее серенькое барежевое платье обрисовывало красивую молодую фигуру очень эффектно, скромная отделка была подобрана со вкусом, целомудрен-

ной белизны воротнички и манжеты свидетельствовали о том, что матушка не жила живмя на кухне, как другие попадьи. Безукоризненные манеры и строго-приветливое лицо матушки досказывали то, что и она вполне разделяла мнение мужа о необходимости поднятия престижа русского духовенства.

— Оставайтесь обедать, — предлагала матушка. — Мы обедаем рано... по-деревенски.

Мне оставалось только поблагодарить за любезное приглашение, которого принять я не мог. Для первого раза было слишком много любезностей, которых я ничем не заслужил, так что мне сделалось даже немножко совестно. Пожав меленькую, выхоленную ручку эмансипированной попадейки, я удалился с миром.

К моему удивлению, Паньша ждал меня за воротами.

— А мы с Андроником рыбку было собрались побродить... — заговорил он, тяжело шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей крупки, известной в бурсе под названием «сам-кроше».

— Я могу подождать с ведомостью, — объ-

яснил я, стараясь утешить огорченного Паньшу.

— А если он узнает? Еще, пожалуй, на поклоны поставит... Бедовый он у нас.

— Уж не знаю, как мне быть.

— Вот что, у меня блеснула искра, — с оживлением заговорил Паньша. — Он вас непременно спросит о ведомости, а вы ему скажите, что получили сегодня.

— Хорошо.

— Покорно вас благодарю! — растроганным голосом проговорил Паньша и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее. — Такую уху заварим с Андроником да с Паганини...

От меня Паньша перешел на другую сторону улицы и, подобрав полы подрясника, болтавшиеся по бокам, как подшибленные у птицы крылья, одним махом перебросил свое протяженно сложенное тело через прясло в чей-то огород, где и пропал.

Я знал попа Андроника больше десяти лет. Это был истинно русский человек, без всякой примеси, и, как в каждом истинно русском человеке, достоинства и недостатки в попе

Андронике представляли собой самую пеструю смесь. В одно и то же время оригинальный старик был хитер и наивен, добр и скуп, хотя не старался скрывать своих недостатков и не выставлял напоказ добродетелей. Ум у о. Андроника был от природы сильный, но совсем не тронутый образованием, как неотшлифованный драгоценный камень. В его разговоре всегда звучала ироническая нотка, причем он чаще всего смеялся над самим же собой. Прибавьте к этому безграничное добродушие, в котором, как в воде, растворялось и тонуло все остальное. Бурсацкая закваска настолько въелась в попа Андроника, что он совсем не замечал ее и оставался старым, закоренелым бурсаком, не поддаваясь никаким новым веяниям и знамениям времени. «Меня еще в деревянной колодке водили в бурсе-то, — рассказывал старик в веселую минуту, — а все за матушку-водочку... Поймали пьяного, сначала отодрали, как Сидорову козу, а потом на шею завинтили два деревянных бруса да так и продержали целую неделю. Вот у нас какая была наука-то... Нынче уж, пожалуй, и в острогах так не держат, как

нас учили!»

Колодка, это варварское, чисто китайское наказание, в России давно вывелась, но в сибирской бурсе процветала еще пятьдесят лет назад.

— А в семинарии-то мы, братчик, учились разве по-нынешнему! — рассказывал о. Андроник. — Народ все большой был — великовозрастие... По тридцати лет бывали лбы. И здоровенный народ. Взять хоть меня: подковы гнул, братчик, двухпудовые гири бросал на крыши. Силища была у меня, как у хорошего черта. В одних тиковых халатиках ходили в семинарии, а зимой в шубах в классе сидели. А каждое воскресенье у нас кулачный бой происходил с мещанами — стена на стену. На масленице как-то, братчик, мы двоих мещан уходили — и не дохнули. Одним словом, могутный был народ, не осевки какие-нибудь. Крепко иногда доставалось и нам... Однажды, братчик, один столяр так меня угостил по голове гирькой, что две недели без памяти вылежал в больнице. Только одно плохо было: все бедный народ был, гроша расколотого за душой не бывало. Как птицы

небесные, братчик, жили, и ничего... Бывало, на вакацию нас обозом отправляли, как дрова. Подвод семьдесят наберут, нагрузят семинаристами и повезут, Неделю в обозе-то плывешь: лошадь везет, а кусать нечего. Сами должны были промышлять пропитание... Уж нас знали по тракту: как обоз с семинаристами в деревню, бабы все двери на запор, потому гусь попал — гуся в мешок, поросенок — и поросенка туда же, хлеба, овоща, молока. Силой так и отбираем, как разбойники хорошие. Ведь нас орда валит человек в полтораста, ничего не поделаешь... И головы только, братчик, были!.. Маленькие деревни так мы приступом брали... Ну, раз и нам досталось на орехи. Ехали мы мимо одной татарской деревни, — большая деревня, а у татар какой-то праздник случись — ну, ураза по-их-нему. Хорошо. Едем мы мимо мечети, а в мечети народ алле молится. Тут кому-то и пади в голову: схватил мешок с двумя поросятами, забежал в мечеть да мешок и бросил по самой середине. Сделали мы это дело, а потом и видим, братчики, что неладно сделали... Отмолятся татаришки, в погоню за нами ударятся,

а на обозе не ускочишь. Ямщики сильно струхнули... Ну, выпили ведро водки для храбрости и ползем по дороге. Только вдруг, слышим, погоня: вся деревня за нами гонится на вершных. Человек сто татаришек так и мчатся на нас, — кричат, нагайками машут. Дреколье разное с ними... Ну, мы были не плохи: телеги сдвинули стеной, а сами за телегами засели, тоже с дрекольем да с камнями. И началась, братчик, настоящая битва: едва мы живы ушли тогда... Больно злы эти татаришки, так с ножами и лезут на нас. Крепко нам досталось... Кому глаз подбили, кому спину отшибли, кому голову... настоящее поле на брани убиенных!..

Паньша во многих отношениях был полной противоположностью о. Андроника и, вероятно, в силу такой противоположности питал к старику какую-то собачью привязанность. Сам по себе Паньша являлся тем, что принято называть широкой русской натурой; широчайшая бесхарактерность и непреодолимая страсть к водке сделали из Паньша неудачника и вечного дьячка. Он был умен, изворотлив, находчив, умел польстить, но

при благоприятных обстоятельствах обнаруживал все признаки самой черной неблагодарности, хитрил, обманывал и продавал. Особенностью Паньши в этих качествах было то, что он, всегда действовал «под наитием» или когда в его голове «блеснет искра». Мугайская церковь имела при себе большой причт, причем попы, дьяконы, дьячки вечно рознили, и Паньша являлся великим дельцом в сфере этой внутренней политики — обманывал, подстрекал, наушничал и просто клеветал. В своей роли он являлся неподражаемым и даже обнаруживал какую-то поэтическую складку, когда приходилось изобретать что-нибудь необыкновенное. Как оправдание, Паньша мог бы привести свое затаенное желание как-нибудь сделаться дьяконом, — это желание превратилось у него в настоящую idee fixe[346]. Но дьяконство, за разными независящими обстоятельствами, как-то всегда ускользало из-под самого носу Паньши: то Паньша подерется в пьяном виде, то сгрубит попу, то крепко побьет жену — одним словом, вечно устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, а начальство все это мотает да — мо-

тает себе на ус. Сближение Паньши с о. Андроником и с учителем рассматривалось заводскими политиками, как явный заговор против новенького и неопытного священника.

Глава 4

В Мугайском заводе я пробыл недели две, а затем уехал в другую часть Урала, но года через полтора:, после рождества, мне опять пришлось заехать к Фатевне.

Вид на Мугайский завод зимой был самый печальный, потому что все домики и даже фабрика точно утонули в глубоком снегу.

Небольшие избушки совсем исчезали в сугробах снега, и только к воротам у хороших хозяев были прогребены в снегу глубокие траншеи; из окон таких избушек не видно улицы в течение целых шести месяцев. Домик Фатевны стоял на самом юру, и северо-восточный ветер наметал вокруг него громадные смежные завалы, так что во двор нам приходилось въехать, точно в яму. Расчищать снег вокруг дома Фатевна считала излишней роскошью, потому что все равно в первую же пургу наметет вдвое больше, —

значит, супротив бога не пойдешь, а только даром деньги изводить на снеговые раскопки.

— Ив самый ты час, дева, приехал! — встретила меня Фатевна, появляясь на крылечке в двух шубах.

— А что? — спрашивал я, с трудом вылезая из глубокой кошевой.

— Да уж так... Пойдем в горницы, там сам увидишь. Сугробно ехать-то было, поди?.. Невпроворот нынешним годом снега напали: совсем замело.

В следующей комнате я, к своему удивлению, встретил Помпея Агафоныча Краснопевцева, который был одет по-домашнему, в каком-то пестром халате.

— Узнал? — спрашивала Фатевна меня, забегая вперед, — На фатере у меня стоит теперь... Как же!.. Ну, уж говорить, что ли, всю правду, Агафоныч? А?..

— Говори, если язык чешется, — угрюмо отозвался Паганини, вспыхнув до ушей.

— И скажу, дева... Разве это худое что-нибудь? Ты уж поздравь нас, — обратилась Фатевна ко мне. — В женихах у нас Помпей-то

Агафоныч живет... Вот те истинный Христос!.. В закон вступить хочет...

— А на ком он женится? — спросил я.

— Как на ком, дева? На Феклисте моей... Как же!.. Второй месяц теперь приданое ей проворим с Глафирой. В настоящем виде свадьбу справляем, как следует быть свадьбе... Обрученье уж было... Отец Егор и благословлял жениха с невестой.

— Будет тебе молоть-то, Фатевна! — огрызнулся Паганини, начиная терять терпение. — Ступай лучше насчет самовара орудуй...

Фатевна самодовольно посмотрела на будущего зятя своими ястребиными глазами: дескать, вот, погляди-ка, какого я зятька для Феклисты обработала, — в лучшем виде... В ее обращении с Помпеем так и сквозило то особенное чувство собственности, с каким все женщины относятся к своим вещам: очевидно, Паганини попал в движимое имущество Фатевны. И ситцевый сарафан сидел на Фатевне как-то не так, как раньше, и лицо точно помолодело, и повертывалась она еще быстрее прежнего, — видимо, она переживала свою самую счастливую минуту, как баба по

преимуществу, для которой вступление Феклисты в закон являлось настоящим торжеством. Направившись к двери, Фатевна вернулась с полдороги и, уставив руки в боки, проговорила:

— А ведь мы с попом-то Андроником опять вздорим... Ей-богу, дева!.. Так вздорим, так вздорим... страсть!..

— Знаю, что вздорите... Это все из-за той лошади, которую ты купила тогда у отца Андроника за пятьдесят рублей и продала за сто?

— Вона... хватился!.. Мы уж после того помирились и опять рассорились, и тоже из-за лошади все дело вышло. Как же, дева, я лошадку продала попу-то Андронику, семьдесят целковых взяла, а ему лошадь-то и не поглянись... Ей-богу!.. Он мне сейчас лошадь назад, а я деньги не отдаю; шире, дале — и пошло, и пошло.

— Лошадь, вероятно, была скверная?

— Лошадь? Ну уж, дева, ты это врешь... Лошадь первый сорт. Я на ней верхом по всему заводу ездила: картина, а не лошадь... Ну, а поп-то Андроник хоть до коней и большой охотник, а толку не хватает... Новокупка-то у

него совсем от рук отбилась, теперь способу с ней никакого нет. Да и куда Андронику с конями возиться, когда у него брюхо вон какое, точно тройней собирается родить!

— Да уж что тут попусту болтать, — заметил Паганини, — надула ты Андроника лошадью, и вся тут...

— Я? Да вот сейчас на этом самом месте... с места вот мне не сойти, ежели я от Андроника хоть на синь-порох попользовалась, дева!..

— Не божись, Фатевна, и в долг поверим...

— Лошадь-то какая была: угодница... Каряя с ремнем во всю спину, и ушки поротые. Пашистая она была маненько и на бабки у задних ног садилась, ну, а все-таки настоящая лошадь: хоть воду, хоть воеводу вози. А штобы я стала надувать отца духовного лошадью, — уж это ты напраслиной обносишь меня. Теперь-то Андроник ее, конечно, извел: приступу к лошади нет — так задними и передними ногами и хлещет и зубами хватает. Четверо, слышь, ее едва запрягут! Оказия, дева, каку страсть из этакой смирнящей лошади сделают... Вот те Христос!..

Мы с Паганини долго смеялись над Фатев-

ной, которая никогда и ни в чем не была виновата.

— И ведь все врет: от первого до последнего слова, — уверял Паганини, когда я по комнате разминал ноги.

— То есть относительно чего врет: относительно лошади или вашей женитьбы?

— Нет, относительно лошади врет, а женитьба — это уж совсем другое...

Помпей Агафоныч сделался мрачен и замолчал; пока Фатевна воздвигала на стол кипевший самовар со всеми его атрибутами, он шагал из угла в угол, как маятник. Собственно, чайной частью заведовала Феклиста, но сегодня она не показывалась почему-то. Когда на столе появилась семга и бутылка водки, мы в торжественном молчании приступили к трапезе. Паганини опрокинул сразу две рюмки и долго прожевывал ломтик соленой рыбы. Самовар шумел, как самый радушный хозяин, который не знает, чем угостить дорогих гостей; в комнате сделалось еще теплее, и окна отпотели. Короткий зимний день кончался, и с улицы глядела ветреная и холодная зимняя ночь. Мы долго сидели в полутьме,

наслаждаясь тем сибирским кейфом, который называется сумерничаньем. Там сейчас, за стеной, бушевала снежная вьюга, где-то далеко-далеко подвывала волчья стая, а здесь было так тепло и уютно! Согревшись после дороги, я чувствовал во всем теле ту приятную истому, когда крепкий, здоровый сон вяжет человека, как верёвками. Глаза слипались сами собой, самовар запускал отдельные пискливые ноты и вдруг их обрывал, точно пробовал какую-то позабытую (мелодию; Паганини жег одну папироску за другой, прихлебывал из стакана чай и упорно молчал, как запертый шкап.

— А ведь дело дрянь... — проговорил наконец Паганини, зажигая оплывшую сальную свечу в высоком медном подсвечнике.

Длинное, худощавое лицо учителя было покрыто красными пятнами; длинные волосы падали на узкий белый лоб какими-то косицами, но в этом странном лице было что-то симпатичное. Есть такие некрасивые люди, которых как-то не заметишь с первого раза, а потом полюбишь их всей душой. К таким людям принадлежал и Помпей Агафоныч. Он и

держал себя как-то особенно — постоянно в сторонке, точно все боялся чего-нибудь, особенно, если в комнате был новый человек.

— А что? — спросил я.

— Подлость... — коротко ответил Паганини, бросая на пол недокуренную папиросу. — Представьте себе, ведь Андроника просто сживают со свету... Да. Все отец Егор подсиживает. Два раза уж суд наезжал на Андроника; ну, конечно, ихний же, поповский суд, а теперь третьего ждать нужно. Андроник-то два раза сам в губернию ездил, консисторию замазывать.

— Да в чем у них дело-то?

— Вот в том-то и штука, что, собственно, даже дела никакого не вышло, а так, рознят — и вся тут... Это всегда, положим, было, но отец Егор задушил консисторию жалобами. А теперь еще переманил на свою сторону Паньшу... Помните?

— Как же, отлично помню: еще усмирял тогда собаку у отца Андроника...

— Да, да... И, представьте себе, этот самый Паньша, который живмя жил у отца Андроника, теперь против него же, а отцу Егору это

и на руку, потому что Паньша является главным свидетелем против отца Андроника. Ведь он знает всю подноготную про старика, — этим отец Егор и воспользовался... Теперь идет такая кляуза у них, что не приведи, господи.

Учитель опять заходил по комнате и несколько раз поправлял свои длинные волосы, точно они мешали ему думать. Измена Паньши произвела на меня тяжелое впечатление, что я и высказал.

— Я сначала то же самое думал, что и вы, — ответил Паганини, наливая рюмку. — Но теперь я несколько изменил свой взгляд. Да... Время такое подлое... А что значит какой-нибудь отец Егор или Паньша, взятые отдельно? Решительно ничего, даже говорить не стоит, кроме того, что плюнуть на них. Но совсем другой вопрос получается, если мы взглянем на дело шире: прежде такие кляузники являлись исключениями, а теперь они перешли в общее правило.

Выпив рюмку водки, Паганини горячо заговорил о новом типе батюшек, представителем которых являлся о. Георгий.

— Ведь он везде пролезет, уверяю вас! — горячился Паганини, взмахивая руками, как ветряная мельница. — Ему до всего дело, его везде спрашивают... И все эти молодые попики на одну колодку! В земство лезут, в школы, в волость и везде проводят свои идеи: забрать понемногу в руки и то, и другое, и пятое, и десятое. Взять теперь хоть школы: где новый батюшка завелся, учитель держи ухо востро... Особенно учительницам достается от этих батюшек... Прежним попам, вроде Андроника, тогда узнают цену, когда их не будет... До сих пор в старых попах видели только одни смешные стороны, а хороших никто не хотел замечать. Посмотрите на Андроника: ведь это натура, настоящая, цельная натура, у которой все оригинально, все по-своему... Он сам навязывает себе такие недостатки, о каких новые батюшки благоразумно умалчивают. Даже самая необразованность и неотесанность старых попов имела свою хорошую сторону: раз — они стояли ближе к мужику, а второе — довольствовались самой скромной обстановкой и привычками... Новые батюшки будут ближе стоять к образованным и зажиточным

классам, но они совсем разойдутся с народом, которому главным образом и должны были бы служить. Даже сравнительно большое развитие умственное и внешняя отесанность являются здесь новым злом. Вот подите вы, какая штука выходит... Я не говорю об исключениях, об единицах, которые везде найдутся, но важен общий характер, самый тон движения.

Мы долго проговорили о трудных временах и о текущих мугайских событиях. Паганини все пил, рюмку за рюмкой, и наконец совсем опьянел, так что не мог уже ходить по комнате, а сидел на диване, придерживаясь за его ручку. Наша сальная свеча давно нагорела и сильно оплыла; в комнате было накурено; меня «долил сон».

— Послушайте... ведь вы меня считаете за подлеца... да!.. — неожиданно проговорил Паганини после длинной паузы. — Я ведь это чувствую...

— Что вы, Помпей Агафоныч... С какой это стати!

— Отлично вижу... Что я такое... а? Жених Феклисты... будущий зять Фатевны... Ха-ха!.. Я

вам расскажу все, как было... — продолжал Паганини с откровенностью пьяного человека. — Да... даже очень просто вышло. А впрочем, вы, может быть, думаете, что я опьянел и сдуру болтаю?.. Не-ет...

Паганини тихо засмеялся, сделал бессильное движение подняться с дивана и опять сел, мотнув головой, как теленок.

— Вы думаете, что это моя первая любовь... Ха-ха!.. Да... Феклиста... Позвольте, вы, может быть, полагаете, что я женюсь на этом уроде из-за денег? Домом Фатевны хочу завладеть?.. Н-нет, ошибаетесь... Да. Я должен жениться, поелику... одним словом, грех покрыть законом нужно. Как же... свой же и грех-то... Осенью дело было. На вечеринке встретился с Феклистой... ну, выпил, а потом вот очутился здесь да и не выходил отсюда. А теперь Феклиста в таком положении, что я, как честный человек, должен вступить с ней в закон... А Фатевна радуется... цепочку серебряную мне подарила... как же... Ежели разобрать, так я, собственно, даже не стою Феклисты... Ей-богу!.. Она глупа, как соленая рыба, но хорошая девушка и любит меня по-своему. А позволь-

те, вы меня все-таки считаете подлецом?

— Нет, зачем же?.. Какое кому дело до вашей интимной жизни!

— Вот именно... благодарю. Да... А признаться сказать, была у меня одна маленькая страстишка... Съезд был учительский, а на съезд приехала одна новенькая учительница... Из дворяночек она, из бедных... С матерью живет... И славная такая, беленькая вся да нежная... и ручки белые, маленькие, а сама еще совсем почти ребенок. Ну, а тут и пришлось свой хлеб горбом добывать, да попала она в глушь, куда ворон костей не носит... Скучно, жить хочется. В таком положении за одно ласковое слово человек душу отдаст... Ну, встретились, познакомились... Славная она такая, умненькая... так в глаза и смотрит... Хорошо. Как-то мы гуляли с ней вечером, она и говорит: «Женитесь на мне, Помпей Агафоныч...» А сама как заплачет, по-ребячьи так заплачет. Ах, как мне тогда было жаль ее... нет, и теперь жаль... Вся она беленькая такая, и платье на ней было белое. Умела она это сделать все, то есть одеться к лицу и всякое прочее... Дворянская косточка,

у них в крови уж это. И звали ее Ниной... Да, Ниночка... Ха-ха!.. Феклиста и Ниночка... Я эту беленькую Ниночку в белом платьице как-то сразу полюбил, так и хожу за ней, как очумелый, а она все целует меня... урода этакого целует... Решил я на ней жениться совсем и слово ей дал... Хорошо. А потом пришел к себе на квартиру и целую ночь не спал... мысли одолели... даже плакал... Очень уж она мне полюбилась, — рука не поднималась загубить. Ну, куда с ней повернусь, когда у меня всего и жалованьишка двадцать пять рублей, да с этими двадцатью пятью и помру... Да еще вот запиваю я частенько, в обхождении груб... Ну, а там детишки полезут... Ниночке-то и пришлось бы корову доить, и полы самой мыть, и всякую грязь тащить на себе... Это с ее-то ручками! Отлично я представлял себе эту Ниночку своей женой... в прозе-то самой представлял: как и личико у ней потухнет, и ручки загрубеют, и сама она сделается такой жалкой... Вот тогда я и рассудил, что не имею права губить ее из-за своего личного чувства, а что она мне сама болтала, так это от жизни от тяжелой... Думал я тогда, что встретит Ниночка

лучше меня кого-нибудь, — зачем же ее-то счастью мешать? Да... Написал ей письмо, все написал и взял свое слово назад, а она мне послала свой локон... Белые у ней волосы с этаким золотым отливом...

Паганини махнул рукой и опять потянулся к рюмке.

— А теперь где эта Ниночка? — спросил я.

— Ниночка?.. Пропала ни за грош... да. Встретилась она вскоре после меня с одним хорошим человеком, который ее обманул... а потом она и пошла чертить. Теперь где-то на приисках болтается. Да... точно вот сон какой вижу... А вы, млстивый государь, все-таки считаете меня за подлеца?.. Да?.. А ведь я в семинарии кончил, батенька, как же... В попы мог поступить, как отец Егор. Даже мог бы написать «И еще благочестивый крестьянин». Ха-ха!.. А оно вон что вышло... Феклистин муж! Да... Работать хотелось, убеждения проводить в жизнь... А вышла вон какая история! Сначала-то я ведь долго не пил, все крепился, а тут как-то вдруг... это после Ниночки уж пошло... На все рукой махнул. А знаете, что я вам скажу; вот вы слушаете меня, а не пони-

маете... и другой никто не поймет. Нужно в нашу учительскую кожу влезть... Вот посидите-ка так, в четырех стенах, восемь зимних месяцев, — тогда такая одурь возьмет, такая одурь., точно вот червяк какой сосет тебя... Ей-богу, так и сосет день и ночь... А вот Андроник отлично понимает... он все понимает... Ох, какая это душа... золотая душа!.. Это он только с виду этаким чертом-иванычем выглядит, а он все понимает... Да-а... Он хоть и хвалится своим поповским житьем и любит деньгу, а тоже его сосет... Вот она, жизнь-то наша, как складывается: подлостей делать не хочется, а настоящим человеком, как в книжках-то пишут, прожить не умеем.

Когда Паганини заснул на своем диване, в комнату на носочках вошла Фатевна и шепотом осведомилась относительно ужина.

— Очень он к водке слаб, — заметила она про своего будущего зятя. — Ну, да женится — переменится!.. Это он теперь от своего холостого житья слабостями-то занимается, а после не до того будет. А что, он не жаловался тебе на свое-то житье?..

— Нет, ничего...

Фатевна испытующе посмотрела на меня своим ястребиным оком и продолжала прежним полушепотом:

— А уж я, признаться тебе сказать, даже струсила, как ты приехал к нам... Вот-те Христос, дева!.. Думаю про себя, как примешься ты его расстраивать, примешься расстраивать...

— То есть как расстраивать?

— А так, как женихов расстраивают... То да се, и невеста из мужичек, и всякое прочее, дескать, на поповне жениться лучше. Ведь я это даже весьма понимаю, что Агафоныч хотя и дьяконский сын, а совсем на господском положении, в том роде, как настоящий барин. Вон к управителю в гости ходит... Как же!.. Ну, с нами-то ему скучно покажется... Вот я и боялась, дева, а сказать-то тебе позабыла, что думаю я в третью гильдию записаться. Да, все же купчиха буду, дева... И Агафонычу не совестно будет перед другими, потому как в том роде, что на купеческой дочери женат. Оно гораздо даже любопытнее... А ведь я как за ним, за Агафонычем-то, ухаживаю — с ног сбилась. Теперь с осени считать, одной водки

третье ведро идет... Ни в чем не стесняю, дева, пусть побалуется, а там уж как господь пошлет, духовную обещала на него записать — и дом, и лавку, и всякое прочее обзаведение.

На улице по-прежнему бушевала снежная пурга; ветер с остервенением рвал ставни, завывал в трубе и горстями разбрасывал во все стороны сухой снег, точно толченое стекло. Помпей, не раздеваясь, уснул на диване, тяжело храпел и несколько раз начинал бредить. Из кухни, где, собственно, жила Фатевна, долго доносился какой-то неопределенный стук и сдержанный говор. До моих ушей донеслась обрывком ядовитая ругань, какой Фатевна имела привычку на сон грядущий прощаться с Денисычем. «Пропасти на тебя нет... — ругалась Фатевна. — Хлеб-от умеешь есть, а почем он ноне, а?.. Вон теперь сколько денег издержала опять на приданое Феклисте: легкое место вымолвить, — как в яму, так деньги и валишь. Водки одной...» Я отлично представлял себе убитую и точно выжатую фигуру Денисыча, который в покорном молчании выслушивал град сыпавшихся на него попреков. Наверно, он целый день прорабо-

тал на морозе, продрог и, грея на печке свои смиренные кости, от души завидовал своему будущему зятю, Агафонычу, который трескает третье ведро водки... Хорошо бы пропустить стаканчик — другой с холоду, так бы хорошо, а то Фатевна с голоду не уморит — досыта не накормит. Наверно, Денисыч слышал, как мы с Помпеем пили водку, и завидовал нам... А может быть, этот непроницаемый человек думал и свою думу: вот, дескать, погоди, Помпей Агафоныч, отойдет и тебе масленица, как попадешь в закон. Фатевна-то завяжет тебя узлом, а потом и Феклиста заберет свою волю и так же будет тебя поедом есть по вечерам.

Мне вдруг сделалось страшно за беззаботно спавшего Паганини, который попал в это ястребиное гнездо, где все было так крепко и туго прилажено: погибнет он окончательно в новой обстановке «Феклистина мужа». А буря все выла на улице свою бесконечную песню, и ветер неистово гулял по улицам, взрывая тучи снежной пыли. Лежа с закрытыми глазами, я чувствовал, как под порывами этого ветра вздрагивал весь дом Фатевны, точно на улице бродил какой-то исполин сумасшед-

ший, который напрасно старался в слепой ярости безумного все разрушить кругом себя...

Вот чья-то громадная рука обшаривает угол дома, пробует обшивку, задевает по пути за ставень; вот та же рука толкнула ворота... вот загремело железо на крыше, завыло в трубе, а он уже далеко, и только сквозь бурю доносится с улицы его безумный хохот, и стоны, и опять хохот. Иллюзия получилась поразительная: вот опять кто-то крадется возле самой стены дома... вот остановился, и слышно, как хрустит снег под ногами, а потом кто-то опрометью бросился под гору, на пруд, где белой стеной ходит снежная пыль, и все звуки тонут в одной надрывающей душу ноте, именно сумасшедшей ноте...

Глава 5

Справивши кое-какие свои дела, я отправился к о. Андронику. Заложив руки за широкую спину, он, по обыкновению, в одном жилете тяжело ходил из угла в угол по своей парадной гостиной и, видимо, был не в духе.

— Ну, что, братчик, новенького на белом свете делается? — спрашивал старик, грузно

повертываясь на каблуках.

— Да особенного ничего, отец Андроник.

Разговор не вязался; я, очевидно, явился тем гостем не в пору, который хуже татарина. Старику было не до гостей, а до себя. Посидев с четверть часа, я начал прощаться.

— Постой, братчик, — остановил меня о. Андроник. — Я сейчас... только за разговором схожу.

Он улыбнулся и, подмигнув, отправился в заветную темную каморочку, где у него хранились наливки. Через минуту он вернулся с двумя бутылками и по пути заказал бесцветной старушке подать закуску. Это и был «разговор». Мы молча выпили по первой рюмке, причем о. Андроник так крякнул, точно хотел раздавить диван, на котором восседал. По наружности он заметно изменился: лицо совсем заплыло, под глазами появились мешки, вся фигура как-то обрюзгла и опустилась. Обыкновенно при гостях о. Андроник из вежливости надевал сейчас же подрясник, а теперь оставался в своем жилете.

— Ты у Фатевны опять остановился? — спрашивал старик, грузно отпыхивая. — Ах,

шельма, как она меня оплела опять... Рассказывала, поди?.. Такую пропастину мне всучила, что просто срам. Ведь не денег жаль, а совесть зазрит: где глаза у старого черта были... Ей-богу, из-за проклятой лошади теперь и дома больше сижу. Глаза в люди стыдно показать, потому сейчас все в голос: «С покупочкой, отец Андроник»...

— Зачем же вы у Фатевны покупали: ведь она уж раз обманула вас лошадью?

— Зачем? А враг-то силен... да. Я и другим всем заказывал, чтобы подальше от этой шельмы, а сам и пришел к ней. Так и зашел из любопытства, как она меня обманывать будет... Ну, она и выведи эту самую карюю лошадь: села на нее верхом — прогнала улицу; потом сама запрягла ее, — опять по улице шаркнула. И лошадь только: так и стелет, так и рубит! Так она мне понравилась, эта лошадь, что сам вздумал ее попробовать, конечно, для любопытства, — еще лучше у меня бежит... Тут меня враг и попутал: на семидесяти целковых и по рукам ударили. А как привел покупку домой, — точно другая лошадь. Ведь вот и поди же ты!.. Уж я думал, не напустила

ли она слепоту на меня да другую лошадь и подсунула... Ей-богу, братчик! Приступу нет к лошади — и конец: всеми четырьмя ногами бьет, головой вертит, в оглоблях падает, на дыбы встает... Черт, а не лошадь!..

Рассказывая о своей покупке, о. Андроник сильно оживился.

— Видишь, братчик, эта лошадь уж не спроста в мои руки попала, а так...

— Как?

— Да уж так... Оно, братчик, все, как пойдет на одну руку, тут только держись. Слышал про Паньшу-то? Как же, к Егорке переметнулся... И кляузы на меня вместе пишут. Ведь два раза уж суд на меня наезжал, а я и в ус не дую... Вот им всем...

Старик показал пальцами нечто очень вульгарное и рассыпался своим заливистым хохотом, но сейчас же смолк и нахмурился.

— В чем же у вас дело-то, отец Андроник?

— Да ни в чем... И дела никакого нет, а так, Егорке хочется меня выкурить из Мугая, а я говорю: «Погоди, братчик, еще материно молоко на губах не обсохло»... Вот и все. Сам два раза в консисторию гонял, три сотенных свез

кровопийцам.

Отец Андроник выпил несколько рюмок и заметно раскраснелся; очевидно, воспоминание о консистории подействовало на него очень неприятно.

— А ведь Егорка-то, братчик, оказывается, поп с оттенком, — проговорил наконец старик после долгой паузы.

.— То есть как с оттенком?

— А вот так же... Ты вот послушай, братчик.

Поднявшись с дивана и вытянув левую руку вперед, о. Андроник пригнул первый палец и проговорил:

— Во-первых, Егорка обвиняет меня в незаконном сожитии с солдатской вдовой Василисой... Это как, по-твоему, братчик? Василиса действительно иногда приходит полы мыть и коз доить, — не самому же мне в поломойки идти и с дойником в хлев ходить! Во-вторых, Егорка обвиняет меня за недозволительную игру светских песен на гитаре. На гитаре я действительно играл, но и царь Давид «скакаше и играя», не то что на гуслех и органех, но и тимпанех доброгласных... Ха-ха!.. Что такое

гитара? Как-то действительно Паньша с Паганини пели прошлым летом «Возле речки, возле мосту», а я на гитаре наигрывал. Это точно было, ну, а вины за мной все-таки никакой нет... Только меня одно смущает: и прежде рознь была между попами, а только такого еще не бывало. Ну что я сделал этому Егорке, ежели разобрать? Ничего... Вот меня это и удивляет больше всего! Неисходимая в нем злость, в Егорке-то, вот он меня и таскает по судам. Только, братчик, Егорке ничего не взять с меня: шалишь!

В подтверждение своих слов о. Андроник так ударил кулаком по столу, что бутылки и рюмки зазвенели. Я старался успокоить расходившегося старика, но он еще сильнее разгорячился и принялся, со своей стороны, обвинять о. Егора в разных неподобных поступках, которые тут же выдумывал и которым сам первый не верил...

— Только попадись мне в лапы этот Егорка! — уже кричал о. Андроник, бегая по комнате с развевавшимися волосами. — Меня рассердить трудно, а уж как рассержусь — хуже льва, братчик...

Я несколько раз заходил к о. Андронику после этого, и каждый раз наши разговоры вертелись все около одной и той же темы. Старик сильно храбрился, особенно подкрепившись «стомаха ради и частых недуг», но видно было, что он чувствовал себя не по себе и часто задумывался.

— Нет, братчик, мудрено нынче на свете жить, — повторял о. Андроник несколько раз с тяжелым вздохом. — Уж на что, кажется, я старик, а и то помешал, сживают с места... Конечно, у меня есть свои недостатки: испиваю рюмочку, ну, еще, может, что найдется. Кто без греха, братчик, а только другим-то я никому зла не делал... Эх, братчик, да что тут говорить!.. Если по-человечеству-то взять да рассудить: овдовел я на двадцать третьем году, а состав-то у меня вон какой... Теперь-то я разбух, а прежде лошадь за передние ноги поднимал, двухпудовые гири за ворота перекидывал. Да... Егорка пьянством меня корит, а куда бы я с силой-то своей девался, если бы не водка?.. Еще спасибо, что она, матушка, силы-то поубавила, а то без беды беда... Все люди, как люди, а ты каким-то гороховым чуче-

лом и живи, да еще все каждый шаг у тебя усчитывают. Конечно, на мне священный сан... Это верно. Только, братчик, есть поговорка, что к мирскому человеку один бес приставлен, а к попу-то семь... Оно так и выходит, ежели разобрать: и то тебе нельзя, и пятое-десятое нельзя... А что Паганини?

— Ничего особенного...

— Свадьба у него перед масленицей?

— Кажется...

— Что же, вполне одобряю, поелику сам господь сказал, что «нехорошо жить человеку одному»... Одобряю, братчик. Что он ко мне-то не заглянет? Ты ему скажи, что я сам бы к нему забрел, да эта... Фатевна там... видеть ее не могу, братчик, — так с души и воротит. Претит... Да и Егорка у них теперь присутствует, — тоже мне не рука. Я уж больше дома теперь отсиживаюсь, как травленый волк...

Однажды, когда я зашел к о. Андронику, он ходил в старой енотовой шубе по двору. Двое трапезников (церковные сторожа) ввертывали в рогожную кошевку новые оглобли. Очевидно, готовилась торжественная запряжка новокупки.

— Хочешь, прокачу на карьке? — предлагал о. Андроник. — Зима на исходе, надо объезжать лошадь, а то совсем от рук отобьется.

Подросток-кучер, каких держат все попы, вывел из конюшни лошадь и, притпрукивая, начал надевать на нее хомут. Это была самая обыкновенная каряя лошадь с большой головой и длинными ушами. Она позволила себя ввести в оглобли, но, когда стали затягивать супонь, неожиданно пала во весь бок. Это было только началом представления. Когда совместными усилиями двух трапезников, кучера и самого о. Андроника, ее подняли на ноги и опять поставили в оглобли, она принялась бешено мотать своей головой, бить задними ногами и т. д. Ввиду предстоящей работы о. Андроник препоясался по шубе широким гарусным шарфом и вооружился новым хлыстом.

— Это для актрисы у меня овес, — смеялся старик, пробуя хлыст. — Я ей убавлю порцию-то, чтобы дурила меньше. Вишь, какое представление задает... У!.. шельма!..

После долгой возни новокупка наконец была запряжена, но вся дрожала и все огля-

дывалась назад, как мы будем садиться. Мальчик-кучер стоял у ворот, ожидая момента, когда можно будет их распахнуть. Наконец мы с о. Андроником сидим в кошевой, ворота открыты, и лошадь вихрем выносит нас на улицу, где начинается вторая половина представления. Отец Андроник, намотав вожжи на руки, напрасно старается сдержать ход новокупки, которая скачет по дороге козлом, задрав голову. Наша кошевка летит стрелой по широкой улице к выезду; в нырках нас так встряхивает, что нужно держаться обеими руками за раму экипажа.

— Держи меня, братчик! — просит о. Андроник, откидываясь всем телом назад, чтобы сильнее натянуть вожжи.

Но последние слова он проговорил уже за кошевой, потому что лошадь сделала неожиданный поворот за угол, в другую улицу, и старик выкатился из экипажа, как тыква. Это происшествие окончательно взбесило лошадь, и она понеслась по улице, как стрела. В одном нырке я тоже вылетаю из кошевой, а о. Андроник потащился на вожжах дальше. Через минуту лошадь, кошевая и о. Андроник

исчезают на повороте улицы, а я отправляюсь к себе на квартиру, благо катастрофа произошла недалеко от дома Фатевны. Вся шуба у меня в снегу, в одном колене чувствуется боль, и я, ругая новокупку и о. Андроника, подхожу к отворенным воротам своей квартиры. На дворе застаю живую картину: у столба стоит привязанная новокупка, одна оглобля расщеплена, о. Андроник, в разорванной шубе, весь в снегу и без шапки, напрасно старается отбиться от Фатевны и Паганини, которые тащат его под руки в горницу.

— Нет уж, дева, сам приехал, так нечего кочевряжиться!.. — кричит Фатевна, ухватившись за рукав шубы о. Андроника. — Вон как на тебе одежда-то вся испластана...

— А все твоя лошадь, Фатевна, — ругается старик, уступая силе. — Это не лошадь, а дьявол!..

Костюм у о. Андроника в самом печальном виде: передняя пола шубы изорвана, потому что он проехал на собственном животе целых три улицы; один конец гарусного шарфа оторван, одна нога без калоши. Пока я шел, новокупка протащила о. Андроника две улицы,

прямо повернула к дому Фатевны, где, на беду, ворота были отворены, и втащила о. Андроника во двор самым торжественным образом.

— Тебе, дева, на козлухах ездить, а не на конях, — говорит Фатевна, стаскивая в передней разорванную шубу с гостя.

— Это твоя работа! — огрызается о. Андроник.

— Нет, лошадь-то умная: знает, что сердиться нехорошо, и привезла тебя к нам. Я сейчас самоварчик, отец Андроник, спроворю и всякое прочее. Милости просим, дорогой гостенек. И поговорка такая есть: званый да жданный гость мил хозяину, а нежданный вдвое...

К счастью, о. Андроник отделался только разорванной шубой и легким ушибом левой руки. Особенно серьезных повреждений не оказалось, и после двух рюмок водки старик был в самом хорошем расположении духа. Посланный на разведки Денисыч принес потерянные шапку и калошу.

— Вот и отлично, — торжествовал Паганини, не зная, как ему угощать о. Андроника. —

Действительно, лошадь-то недурно сделала... а?

— Подлец ваша лошадь, вот что!.. — уже добродушно гремел о. Андроник, приводя в порядок свою спутанную бороду. — Она меня уже не в первый раз так угощает... А я все-таки держусь на вожжах — и конец делу, так на брюхе за ней и качу.

Примирение о. Андроника и Фатевны состоялось при самой торжественной обстановке, и мы проболтали до позднего вечера, удерживая развеселившегося старика под разными предлогами. Появилась на сцену даже смиренная Глафира, которая прежде всего подошла под благословение к о. Андронику и долго не соглашалась разделить веселую компанию.

— Да садись, чего ты галеганишься? — упрашивал вместе с другими о. Андроник. — Ведь уж я знаю, что ты меня всего в стихах описала... Да. Ну, признавайся: ведь описала, братчик?..

— Уж какие стихи, — отец Андроник! — скромно отзывалась Глафира, закрывая рот своей костлявой, длинной рукой. — Еле ноги

таскаем. Вот теперь с приданым Феклисте с ног сбились... не шутка место! Тоже в закон девиса вступает, надо все выправить форменно... А как у вас новокупка-то, отец Андроник?

— Ох, не спрашивай!.. Камень на шею — вот мне что ваша новокупка, братчик! Ведь ты вместе с Фатевной тогда продавала лошадь... а?

— Не знаю ничего я в этих конях, отец Андроник. Это все Фатевна, у ней спрашивайте... А я действительно видела, как вы покупали лошадку, тогда еще порадовалась. Думаю про себя: веселенькая лошадка досталась отцу Андронику, славная...

Паганини тоже развеселился и несколько раз проговорил:

— Эх, Паньши-то нет, а то мы такую «Раззоренную» спели бы, что чертям тошно...

— А я на Паньшу не сержусь, братчик, — добродушно басил о. Андроник. — Он не от ума в клеветники обратился... Судить меня с Егоркой хочет... Да. Ежели разобрать, так меня и беспокоить им не следовало бы...

Воспоминание об измене Паньши, как но-

жом, обрезало веселое настроение о. Андроника, и он начал прощаться. Фатевна, однако, взяла с него слово приехать в гости через день, когда у ней назначен был официальный бал.

— Обещать-то я тебе пообещал, — говорил старик, надевая в передней шапку, — а не знаю, может, и обману... Ведь меня в консисторию вызывали опять, а я написал, что болен. Егорка узнает, что я по гостям хожу, наклаузит так, что не расхлебаешь.

— Ну, дева, чего испугался: был нездоров, а тут бог здоровья послал, — успокаивала Фатевна с своей обычной находчивостью. — А ваши-то суды известные: ворон ворону глаз не выклюет...

— Не те времена, братчик, не те времена. Нынче своего-то бойся пуще чужого...

Чтобы о. Андроник не отказался, Фатевна послала за ним в день бала свою лошадь, и старик волей-неволей приехал. Теперь горницы Фатевны были битком набиты гостями, преимущественно из мелких торговцев и мелких заводских служащих. В одной комнате танцевали кадриль под гармошку, в другой

девушки пели песни, в третьей была устроена закуска. В числе гостей был и Паньша, который уже успел лизнуть несколько рюмок, заметно осовел и к каждому слову говорил: «хорошо». Завидев входившего о. Андроника, Паньша отправился за благословением.

— Преподобный отче... благослови! — говорил клеветник, лобызая руку о. Андроника своим дьячковским лобзанием.

— На хорошее бог тебя благословит, братчик, а на худое сам догадаешься! — весело ответил о. Андроник.

— Хорошо... Вы говорите, отче, чтобы на худое я сам догадался... хорошо... Значит, вы подозреваете меня?

— Чего тут подозревать-то? — отрезал старик. — Вместе с Егоркой кляузы разводите. На том свете вас обоих на один крюк за язык повесят, вот и весь разговор...

— Вот, отец Андроник, встречную, — просил Паганини, подводя гостя к столу с закуской. — Вместе, пожалуй, и выпьем.

О. Андроник не отказался и только велегласно крякнул. За первой рюмкой последовала другая, за второй третья и т. д. Меня удив-

ляло, что старик разрешил в такой мере, но он сам объяснил причину:

— Для храбрости дернул, братчик... Наверно, Егорка приплетется, так я ему покажу, курицыну сыну, где раки зимуют. Он думает, я его боюсь... Ха-ха!..

Такой оборот дела не обещал ничего доброго, и я предупредил Паганини, чтобы он не упускал из виду о. Андроника, если появится о. Георгий.

Бал был в полном разгаре. Подгулявшие гости кричали, как петухи, и постоянно «повторяли» у стола с закуской. В одном углу за ломберным столом, уселись картежники и ломили в стуколку. Табачный дым, винные испарения и жар выгнали меня в ту комнату, где шли танцы. Провинциальные барышни в самых пестрых платьях с «паньями» и прочей благодатью чинно расселись на стульях около стен и кокетничали со своими кавалерами в самой примитивной форме. Платья работы Глафиры положительно портили фигуры девушек, но мода здесь, как, может быть, нигде, являлась в самой беспощадной форме. Я не мог найти ни одной девушки в сарафане — на

всех были «паньи». Молодые люди в сюртуках и стоячих воротничках были лучше, но тоже являлись жертвой моды по части широчайших раструбов у панталон и совсем четырехугольных носков у сапог. Танцевали в четыре пары все одну и ту же кадриль без конца, и танцевали, нужно отдать справедливость, очень плохо. Глядя на эту молодежь, я сравнил невольно этот вечер с одной крестьянской вечеркой, куда ни «паньи», ни крахмальные воротнички еще не проникли — и, право, у мужиков все было веселее, и красивее, и оригинальнее.

Только когда подгуляли старики, картина изменилась. Какой-то седой прасол потребовал «руськую» и вывел в круг Фатевну, которая в шелковом зеленом платье была сегодня эффектна. Она сильно выпила и, как все пьяные бабы, хотела удивить мир злодейством. Гармоника, захлебывалась, пиликнула «камаринскую», и началась «руськая». Уставив руки в боки и скосив голову на сторону, как пристяжная лошадь, Фатевна поплыла белой лебедью; расходившийся прасол пустился в присядку. Публика заметно оживилась и со-

чувственно притоптывала. Воодушевленная общим вниманием, Фатевна усиленно семенила ногами и размахивала платочком.

В дверях, в этот горячий момент, напротив о. Андроника, показалась бледная, испытующая физиономия о. Георгия, который явился на бал неожиданно для всех.

Глава 6

На другой день после бала, когда мы с Паганини пили утренний чай, заявилась Глафира и после обычной нерешительности проговорила:

— А ведь ночесь следователи приехали... попа Андроника будут судить. Как же... протопоп да два депутата. На земской фатере остановились...

Сейчас после чая мы с Паганини отправились к о. Андронику. Старик, против обыкновения, был в подряснике и только что перед нами читал «Духовный регламент». Он встретил нас молча и молча же указал на 28-й параграф «регул» о пресвитерах, дьяконах и «прочих причетниках», который гласил: «Прочее не токмо наблюдать надлежит, не бесчинствуют ли священницы и дьяконы и

прочие церковники, не шумят ли по улицам пьяни, или, что горше, не шумят ли пьяни в церквах, не делают ли церковного молебствия двоегласно, не ссорятся ли по-мужичью на обедах, не истязуют ли в гостях потчевания (а сие нестерпимо бесстудие бывает), не храбрствуют ли в боях кулачных — и за таковые вины жестоко их наказывати. Но и сие прилежно им заповедать епископ должен, чтобы хранили на себе благообразие, а именно, чтобы одеяние их верхнее, хотя убогое, но чистое было, и единой черной, а не иной краски, не ходили бы простовласы, не ложилися бы спать по улицам, не пили бы по кабакам, не являли бы в гостях силы и храбрости к питию и прочая сим подобная. Таковые бо неблагообразна показуют им быти ярыжными: а они поставлены пастырьми и отцами в народе».

— Конечно, братчики, тихое и мирное наше житье! — как-то грустно проговорил о. Андроник, поглядывая в окно на улицу.

— Ну, бог не без милости, — успокаивал Паганини. — Ведь не в первый раз суд-то судит... Следователь не велика важность, — что

еще скажут в консистории.

— Нет, братчик, конец пришел... чувствую. Сон был сегодня такой... Уж это верно! Я все приготовил ежели что, на всякий случай...

— Да полно хандрить, отче, — уговаривал Паганини. — Не велика беда, что посудят. Ну, в консисторию лишний раз съездишь, — и вся тут.

— И в консисторию больше не поеду, братчик: будет. Пусть их: все равно сживут.

Меня удивило необыкновенное малодушие о. Андроника, который в одну ночь както совсем опустился и состарился, точно перенес какую-нибудь тяжелую болезнь. Не было даже прежних гневных вспышек, которые сменились неестественной кротостью. Наши утешения не придали о. Андронику бодрости, а только усугубили его мрачное настроение.

— Да я и не боюсь ничего... ничего не боюсь, — говорил старик, когда мы начали прощаться. — Никому я не сделал никакого зла, а что до моих грехов — так это уже богу буду каяться. Не о том я теперь думаю, братчик.

— А о чем?

— Да так, разные мысли... Самое первое:

жить надоело. А ты бы как думал? Ну что я такое, ежели разобрать?.. Будет уж небо-то коптить... Пусть помоложе нас поживут, а с нас даже очень довольно.

— А деньги-то как, отец Андроник? — пошутил Паганини.

— Деньги... Небось, братчик, тебе их не оставлю, они всегда найдут себе хозяина. Только я этим консисторским ни-ни! расколотой полушки больше не дам. Это они выдумали из меня жилы тянуть, — нет, братчик, шалишь, с деньгами-то я и без них проживу...

Появление следователя произвело в Мугае большое движение.

Свидетелям разнесены были повестки, причем вызывались на суд Фатевна, Глафира и Паганини. Судьбище имело происходить в церкви, что заставило клеветников призадуматься ввиду присяги. Свидетели были народ простой и боялись присяги, как огня.

— Пойдемте в церковь? — предлагал мне Паганини. — Интересно посмотреть...

— А меня не попросят уйти?

— Нет, ничего... Все свой народ; кстати, вы и с отцом Георгием немножко знакомы, а он

там главный запевала.

В назначенный час мы были в церкви, где народу набралось порядочно — все вызванные сторонами свидетели. Действие происходило в левом приделе, недалеко от прилавка старосты. Следователь — лысый старичок протоиерей — сидел за столом; по сторонам помещались два депутата-священника. Середину стола занимали бумаги и следственно-духовные книги. Отец Георгий торопливо перешептывался с свидетелями, которые испытывали в этой торжественной обстановке невольное смущение. Трапезник, еще недавно запрягавший нам с о. Андроником новокупку, ставил в сторонке налой с крестом и евангелием, завернутым по-походному в епитрахиль, — значит, допрос будет производиться под присягой, от чего передернуло многих. В толпе свидетелей было несколько заводских служащих, мастеровые, какая-то старушка с палочкой и Фатевна с Глафирой. Когда появился о. Андроник, эта толпа почтительно расступилась, давая дорогу. Поздоровавшись со своими судьями, о. Андроник занял место у стола и внимательно обвел глаза-

ми толпу свидетелей. Паньша старался прятаться за чужими спинами, избегая встречи со своим недавним покровителем.

Начался допрос свидетелей, причем они предварительно были уведены в сторожку трапезников, откуда и вызывались по одному, как это делается в настоящем суде.

— Что вы можете рассказать по этому делу? — обращался следователь к каждому новому лицу.

Свидетели из мастеровых ничего особенного не показали, но зато один прасол с тонкой жилистой шеей утешил за всех. Это был один из тех сутяг, которые встречаются везде, и особенно старался изобличить о. Андроника. Выискался такой же свидетель из заводских служащих, который долго распространялся о том, как о. Андроник играл на гитаре светские песни. Самый интересный момент следствия наступил, когда была вызвана Фатевна, которая отрапортовала все, что сама знала, и, между прочим, с неподражаемым искусством передала недавний случай, как она плясала, а о. Андроник кричал ей: «Чище, шельма!»

— Не имеете ли вы что-нибудь сказать свидетелю? — обращался следователь к о. Андронику после допроса каждого свидетеля.

— Может быть... а не помню... ничего не помню, — отвечал о. Андроник.

— А известно ли вам, свидетельница Трегубова, — авторитетно тянул один из депутатов, — как отец Андроник в пьяном виде ездил по всему Мугайскому заводу, даже не ездил, а таскался на вожжах за лошадью?..

— Даже очень известно, дева... И лошадь-то, поди, моя у Андроника. Отличная лошадь... Ей-богу!.. Му, а у Андроника она пошаливает и, точно, таскает его на вожжах, даже во двор ко мне затащила одинова... Стою я на крыльце, а он, Андроник-то, и въехал во двор — прямо на пузе так и тащится. А лошадка ничего, в табуне давана пятьдесят целковых... Славная лошадка.

— Что же, отец Андроник был пьян, когда в таком виде был втащен к вам во двор?

— Нет, дева, не заметила... Может, и пропустил рюмочки две, а я не заметила.

За допросом Фатевны последовал допрос Глафиры, причем прочитаны были даже ее

стихи, обязательно доставленные следователю о. Георгием. Это была настоящая былина, начинавшаяся строфой:

Днесь Мугайская страна прославляется —
Отец Андроник в сметане валяется...

Бойкая у себя дома на словах, особенно у себя во дворе, Глафира теперь сильно смутилась духом и понесла какую-то околесную.

— Это ваши стихи? — допрашивал старичок-следователь.

— Уж оставьте вы меня, ваше высокоблагословение, с этими стихами, ради истинного Христа... Сироту долго ли обидеть. Если бы покойничек-тятенька был жив, да разве бы я жила у Фатевны...

— Вас не об этом спрашивают, свидетельница... Если эти стихи ваши, значит, вы хорошо знали описанные в них события?

— Ох, сирота я горемычная...

Дело кончилось тем, что Глафира расплакалась и даже запричитала, так что ее попросили удалиться. Теперь оставался один Памфилий Лихошерстов, которого и вызвали. Он

подошел к столу самым униженным шагом, придерживая левой рукой полы расходившегося подрясника; но лицо Паньши было спокойно, и только маленькие глазки смотрели с вызывающей дерзостью, как у человека, отлично знающего свое дело. Это был опытный клеветник, искушенный в непрерывавшейся розни мугайских попов. Отец Андроник, сидевший до сих пор спокойно, сделал нетерпеливый жест рукой и глубоко вздохнул, точно ему мало было воздуха.

— Что вы имеете сказать по этому делу? — предложил председатель свой стереотипный вопрос, склоняя голову набок.

— Я-с?.. О чем, собственно, рассказывать?

— Рассказывайте все, что вы знаете...

Паньша окончательно воодушевился и все свои вины свалил на голову о. Андроника. Происходила очень типичная сцена, точно целиком выхваченная из какой-то глупейшей сказки. Внутренность церкви была ярко освещена пыльными широкими полосами солнечного света, падавшего под углом сверху; в глубине высился сплошной золотой стеной богатый иконостас; ближе со стен гляде-

ли образы всевозможной формы, пахло ладаном, восковыми свечами. Стол с батюшками служил дополнением этой картины. Старичок-следователь, с выхоленной благообразной сединой, принадлежал к типу заводских священников, какие встречаются только на Урале; он держал себя с тем приличным достоинством, какое приобретается долгой жизнью в образованном, приличном кругу. Такие заводские батюшки не принадлежат ни к старым, ни к новым попам, а живут сами по себе. Своими следовательскими обязанностями следователь, видимо, тяготился и все поглядывал на золотые часы с брелоками. Двое депутатов отличались только по цвету волос; один молодой, белокурый, с веселой беззаботной физиономией; другой постарше, с начинавшейся лысинкой в темных волнистых волосах, заметно дремал и, чтобы разогнать накатывавший сон, несколько раз принимался что-то писать на листе бумаги. Отец Григорий составлял душу этого следовательского персонала и постоянно юлил около старичка-следователя, нашептывая ему на ухо. Спрошенные свидетели чинно сидели в уголке, на двух

скамьях; с этих скамей доносился сдержанный шепот, тяжелые вздохи и подавленная зевота. Вообще получалась довольно однообразная и скучная картина, так что я хотел идти домой.

— Погодите, сейчас Паньша будет про Васиньку рассказывать, — шепнул мне Паганини, уже освободившийся от своих свидетельских показаний. — Посмотрите, как он врет, — глазом не моргнет...

Началась самая тяжелая сцена. Желавший непременно выслужиться, Паньша выворачивал всю подноготную из интимной жизни о. Андроника, причем невозможно было отличить, где кончалась ложь и начиналась правда. Отец Георгий сделал печальное лицо и нервно потирал свои длинные белые руки, изредка взглядывая на свою жертву пристальным торжествующим взглядом. Лицо о. Андроника было красно, на лбу выступил крупный пот. Собственно, прямых улик, в юридическом смысле, Паньша не мог представить, но косвенных доказательств нагромоздил массу.

— Теперь нам остается только произвести

очную ставку между некоторыми свидетелями, которых показания не сходятся, — проговорил следователь, откидываясь на спинку стула.

Выслушивать еще раз повторение прежних дрязг и пустяков я совсем не желал и вместе с Паганини отправился домой. При выходе из церкви мы столкнулись с Паньшой, который с другими свидетелями, под конвоем трапезника, опять препровождался в сторожку.

— Уж и подлец жы ты, Паньша! — ругался Паганини, останавливаясь, — Зачем врал-то целый час?..

— Я?.. — удивился Паньша совершенно естественно. — Совсем напрасно, Помпей Агафоныч, вы меня подлецом крестите...

— Как напрасно? Ведь я-то уж знаю все, что ты говорил...

— Хорошо вам так разговаривать, а вот ежели бы...

— Что ежели бы?..

— Да вот так же, как меня, положить бы между двумя жерновами да и молоть, тогда не то заговорили бы...

Паньша скрылся в сторожке, а мы вышли на паперть. День был солнечный, снег слепил глаза; в воздухе чувствовалась приближавшаяся весна. Где-то с крыши звонко падали крупные капли таявшего снега.

— Самое дрянное дело, — заметил Паганини, нахлобучивая шапку на глаза. — Собственно говоря, этой истории с Васинькой даже я и не знаю, хотя бывал у отца Андроника каждый день. И Паньша тоже ничего не знает, а врет потому, чтобы себя выправить... Этакое свинство!.. Только все это одна комедия. Ведь такие следствия решительно ничего не значат; все зависит от консистории. Не такие дела тонули в реке забвения, только отец Андроник держит себя как-то совсем странно...

Следствие продолжалось дня четыре, причем свидетелей вызывали несколько раз для передопросов и очных ставок. Затем следователь и депутаты уехали, и потревоженная мугайская жизнь вошла в свою колею. Ввиду близкой свадьбы Паганини в доме Фатевны все было перевернуто вверх дном; было два девичника, потом явились подруги Фекли-

сты, в качестве официальных свадебных «девис», и т. д. Чтобы избавиться от свадебной суеты, я часто уходил к о. Андронику, особенно по вечерам. Старик скучал и рад был побеседовать.

— Что же вы в консисторию-то не едете? — несколько раз спрашивал я о. Андроника. — Ведь дело, пожалуй, дрянь будет...

— А я не поеду — и все тут... Пусть делают, что хотят, братчик. Съездил два раза, побаловал, а в третий-то жирно будет, пожалуй, подавятся. Все равно, ежели бы я и выжил Егорку, другого на его место такого же пошлют. Ну, теперь, ежели разобрать, зачем эти следователи приезжали? Осрамить меня осрамили, а узнать ничего не узнали...

Бывая у о. Андроника, я заметил по некоторым признакам, что старик запил самым опасным запоем. Раньше он всегда пил в компании, а теперь нарезывался один, перед тем как ложиться спать. В течение нескольких дней лицо у него опухло, голос охрип и глаза помутились.

— Вы нездоровы, отец Андроник? — несколько раз спрашивал я его. — Не мешало

бы с фельдшером посоветоваться, а то и к доктору съездить.

— Нет, братчик, это так... пройдет, — отговаривался старик.

Мы сидели одни. На столе стоял потухший самовар, стеариновая свеча слабо освещала комнату, в которой теперь водворилась какая-то жуткая тишина. Разговор не вязался, читать не хотелось, а спать было совестно, — всего семь часов на дворе. Мы долго молчали, и, когда я взглянул на о. Андроника, он сидел на диване и плакал... Крупные слезы так и лились по лицу, блестели на бороде и скатывались на подрясник.

— Ох, скучно мне, братчик, — тихо заговорил о. Андроник, вытирая глаза кулаком. — Тошно!.. Судом меня хотели застращать, а не знают того, какой у меня суд бывает по вечерам вот здесь, в своем дому... Как стемнеет, ставни запрут, тихо сделается везде, — меня и засосет тошнехонько. Страх какой-то нападает... Сам не знаю, чего боюсь. А так, хоть сейчас петлю на шею... Лягу пораньше спать, закрою глаза, а тут и пойдет и пойдет в башке-то представление... Богу молиться начну,

так опять молитвы во мне нет настоящей, а так, в голове слова то переливаются, как вода, и только. И все мне тяжелее, точно я даже жизни своей не рад. Ведь грешно это, а ничего не поделаешь. И мысли какие в башку лезут: зачем жил, да зачем еще жить?.. В монахи даже несколько раз собирался, — все же оно на людях... Разве Егорка это может понять? Поглядеть на него, так весь тут, хоть выжми. Даже иногда, как раздумаюсь, мне жаль сделается этого Егорки: больно уж в нем этого ехидства много, а сам пуст...

— Надо лечиться, отец Андроник: у вас просто нервы расстроены...

— Нервы... Эх, братчик, никаких во мне нервов нет, а просто душа болит от этого постылого житья. Я тогда на суде долго смотрел на этих свидетелей: рады-радехоньки про попа всякие глупости говорить, а сами разве лучше меня? Разве они были у меня на душе? Нашли в чем обвинять!

Через неделю был получен указ преосвященного о запрещении о. Андроника. Весть об этом принесла Глафира. Мы с Паганини сейчас же отправились навестить старика.

Ворота домика о. Андроника, против обыкновения, не были заперты, и мы беспрепятственно вошли на двор.

Меня еще издали поразил какой-то говор и глухое вскрикивание, которое доносилось из горницы. На пороге гостиной дело разъяснилось: на диване, вытянувшись, лежал о. Андроник с белым застывшим лицом, а около него на коленях ползал Паньша.

— Авва... авва... авва! — кричал он, схватывая себя за жиденькие косицы.

— Что такое, Паньша?.. Отец Андроник?

Паньша обернулся, посмотрел на нас каким-то исступленным взглядом и опять затянул свое: «Авва... авва... авва!» Отец Андроник лежал мертвый. Паралич избавил его от всех житейских дрязг...

Депеша

I

Дворецкий Иван Андреич в обыкновенное время имел очень важный вид, а перед праздниками точно замерзал в собственном величии. Последнее объяснялось тем, что к новому году подавались всевозможные счета, являлись комиссионеры, поставщики и разные темные личности, напоминавшие шакалов. У Ивана Андреича было всего два ответа: «Барина нет доме» и «Барин спит». В том и другом случае ничего нельзя было поделать. Исключение представлял новый год, когда Иван Андреич получал уполномочие от опеки производить расчеты за молодого барина, с тем условием, чтобы счета были подписаны.

— Канитель известная... — ворчал старик, надевая золотое пенсне. — Все хотят урвать живым мясом, потому как наш барин, по молодости ихних лет, ничего не понимают.

Молодой барин, который ничего не понимал, носил очень громкую историческую фамилию: Мездрин-Ухватов. Эта фамилия выдвинулась в темное время бироновщины, ко-

гда родоначальник всех Мездриных-Ухватовых отличался особой преданностью временщику. Затем следовал длинный период, когда Мездрины-Ухватовы как-то были позабыты историей и снова воссияли только во времена аракчеевщины. К этому периоду относится накопление фамильных богатств, отчасти благоприобретенных личным усердием, а отчасти полученных через родство с другими богатыми фамилиями. В эпоху реформ Мездрины-Ухватовы опять были забыты неблагодарными современниками, хотя и не теряли надежды, что в свое время их призовут. Настоящее положение фамилии было в таком виде: глава семьи, Елена Анатольевна, проживала в теплых краях, как говорил Иван Андреич, а дети — в Петербурге. Старший сын, Платон Ефимыч, когда-то служил в одном из дорогих кавалерийских полков, а сейчас проживал в собственном дворце на Большой Морской и занимался отчасти меценатством, поощряя молодые таланты в области хореографии, а отчасти изобретением какого-то необыкновенного соуса, который должен был обессмертить фамилию Мездриных-Ухвато-

вых на всех ресторанных счетах. Впрочем, Платон Ефимыч был очень добрый и доверчивый человек, которого не разоряли и не обирали только ленивые.

Младший отпрыск Мездриных-Ухватовых точно отказался от семьи и жил отдельно. Когда он был бебе, мать любила его показывать своим гостям и таскала за собой по теплым краям. Маленький Коко начал свое образование в Англии, где у него была строгая мисс; потом он очутился в Швейцарии, в одном привилегированном пансионе, где маленьких знатных иностранцев морили голодом; потом он попал в католический монастырь в Италии, где и был позабыт до шестнадцати лет, когда получил право выбрать себе опекуна. Его выписали в Петербург, и старый дворецкий Иван Андреич занялся окончательным воспитанием молодого набоба.

— Ничего, вот поступим в гусары или уланы, тогда все пойдет само собой, — рассуждал верный слуга. — Славу богу, не какие-нибудь другие протчие... Кто не знает Мездриных-Ухватовых!

Увлекшись фамильным величием, Иван

Андреич по пальцам перечислял все мездринские сокровища: в Крыму — виноградники, в Каспийском море — рыбные промыслы, в Сибири — золотые прииски, в степи — два соленых озера, в Олонецкой губернии — пятьдесят тысяч десятин леса, в Оренбургской губернии — целый заводский округ, и т. д., и т. д. Как ни мотали Мездрины-Ухватовы, как их ни обирали разные приспешники и опекуны, — фамильные богатства были неистощимы.

Собственно, семья Мездриных-Ухватовых как семья давно уже не существовала, именно с того момента, как кончился блестящий петербургский период Елены Анатольевны, и она, не желая переживать своей славы бывшей красавицы, навсегда переселилась в теплые края. При ней состоял тоже преданный старый слуга, Максим Алексеич, который, помимо всяких других дел, заведовал всеми семейными обязанностями, то есть в определенные дни годовых праздников, рождений и именин писал и отправлял детям от имени Елены Анатольевны стереотипные телеграммы.

— Ты знаешь, что нужно написать, и, пожалуйста, не беспокой меня этими глупостями, — сказала ему раз навсегда Елена Анатольевна. — Меня это расстраивает...

В свою очередь, Иван Андреич писал и отсылал телеграммы от имени своего молодого барина Елене Анатольевне. Читали эти телеграммы только эти двое верных слуг, поддерживая священный огонь на семейном очаге. Иван Андреич называл телеграммы по-старинному — депешей.

II

Итак, накануне нового года Иван Андреич принял торжественный вид и приготовился вперед к целому ряду неприятностей. Молодой барин вернулся домой только утром и проспит до самого вечера. Иван Андреич принимал по делам в особой комнате, которую называл конторой. Лакей, известный под именем Гришки Отрепьева, знал, что будет происходить, и весело ухмылялся вперед, потому что и на его долю перепадало кое-что от дорогих гостей со счетами.

Первым явился услужающий татарин из загородного кабака.

— Куда прешь? — оборвал его Гришка Отрепьев.

— Мне бы Ивана Андрея...

— То-то вот: Ивана Андрея, — передразнил его Гришка Отрепьев. — Подождешь.

— Кто там? — спросил Иван Андреич, слышавший из коридора, как Гришка Отрепьев дерзит кому-то.

— Махмудка из «Пукета».

Дело Махмудки было очень несложное: не заплачено по трем счетам, взято на извозчика десять рублей, следовало получить за облитое красным вином платье цыганской певицы Евгеши, потом «уважение» прислуге к празднику — и только. Иван Андреич посмотрел счет, покачал головой и проговорил:

— Любую половину, а под счетом подпишешься, что получил все сполна. Понял? Это не для меня, а для опеки.

Настеганный услужающий татарин спорить и прекословить не стал, получил половину, расписался на счете и удалился.

За татарином явились два лихача, потом тапер из «Букета» (взято на извозчика десять рублей, кроме игры), потом закройщик от

модного портного. Появление этого номера всегда волновало Ивана Андреича. Ну, скажите, пожалуйста, какой это порядок, ежели по счету за сюртук нужно было уплатить сто сорок рублей, за летнее пальто двести, за штаны по сорока? Голова Ивана Андреича качалась, как маятник старинных часов, пока он проверял портняжную бухгалтерию. Приходилось переплачивать по крайней мере в шесть раз против настоящей цены.

— Что же это такое? — взмолился старик, прикидывая итог на счетах. — Дневной грабеж.

— Это дело хозяйское, Иван Андреич, — отвечал закройщик. — А наше дело маленькое... Действительно, нужно получить с вас десять рублей, которые я заплатил за вашего барина лихачу.

— Десять рублей?

— Спросите их сами... Значит, как у них не было при себе мелких.

Эти «десять рублей» являлись везде и возмущали верного раба больше всего. И как не стыдно срамиться барину перед такими холуями...

Все эти мелкие счета раздражали Ивана Андреича именно своей ничтожностью. А главное было впереди. Старик чутко прислушивался к каждому новому звонку и по лицу Гришки Отрепьева догадывался, что опять пустяки. Подали счет из голландского магазина белья, где, между прочим, значилось две дюжины женских рубашек и дюжина ночных кофточек, что заставило Ивана Андреича вздохнуть и улыбнуться: молодой барин быстро делался настоящим Мездриным-Ухватовым. Был даже счет из макаронной фабрики.

Наконец явился и *он*, то есть вежливый, приличный, улыбающийся француз с распушенными, как у кота, усиками.

— Как поживаете, Иван Андреич?

— Благодарю вас, m-r Кабо. Как вас господь носит?

Французик только вздохнул и закатил глаза. О, как трудно иметь дело с настоящими русскими боярами, которые умеют только подписывать счета из ресторанов, а деньги получать с которых так трудно! Иван Андреич чувствовал, как он холодеет, ожидая роко-

вого удара. В прошлом году m-r Кабо преподнес ему счетец ни больше ни меньше как в одиннадцать тысяч, и старику пришлось доплатить из своего кармана, чтобы не конфузить молодого барина перед опекой. Годика через три будет в совершенных летах и тогда за все рассчитается.

— Да, трудненько, Иван Андреич, — тараторил m-r Кабо, потирая короткие ручки. — Я уж не знаю, как нынче вывернется мой хозяин. Мы ведь должны всем верить, чтобы поддержать честь заведения, а это дает страшные убытки... Двое наших клиентов застрелились перед рождеством, и — кнопс! — мы ничего не получим по их счетам; третий — тоже очень хороший человек — сослан в Сибирь... за неосторожное обращение с чужими бланками на векселях, а за четвертого мы даже сами заплатили, пока умрет его дядя. Вообще, очень и очень трудно.

M-r Кабо даже расчувствовался и уже полез в отдувавшийся боковой карман своего щегольского смокинга, как вошел Гришка Отрепьев и сунул Ивану Андреичу чуть не в нос телеграмму.

— Из Парижу...

— Хорошо, убирайся вон, — рассердился Иван Андреич, откладывая «депешу» в сторону.

M-r Кабо молча положил на конторку общий счет своего ресторана и кипу оправдательных документов с подписью ничего не понимавшего молодого барина. Иван Андреич, взглянув на итог, просто онемел: проклятые французики «заитожили» целых тридцать шесть тысяч.

— Это... это... это что же такое? — бормотал старик. — Нет, я не могу... Обращайтесь к опеке.

— Нам все равно. Можете проверить все счета.

Иван Андреич по привычке взял один счет и дочитал только до поросенка, оцененного в шестнадцать рублей.

— Нет, нет, я ничего не знаю, — застонал он.

— В таком случае до свидания-с...

— Всего хорошего.

III

Когда француз ушел, Иван Андреич отдал

приказ никого больше не принимать. Он был возмущен до глубины души этим кабацким счетом. Вот так Николай Ефимыч, даже весьма отличились!.. Прежде Платон Ефимыч по гусарской своей части сильно кутили, и тоже бывали аховые счета к Новому году, но там военное дело было, невозможно никак иначе, а Николай по-штатски какие поступки начинает поступать.

Вот ужо зададут опекуны жару и пару, а то и совсем просто сделают — пошлют проклятому французу цидулку: «Так и так, счета подписаны несовершеннолетним, и мы не желаем платить». Эх, не посмотрел, есть ли марки гербовые на счетах, а то в окружном суде здорово бы подтянули французишку... Да и счета еще вот как надо проверить. Шестнадцать рубликов поросенок... На такие деньги мужичок может коровушку купить, детки с молочком бы были... Эх, Николай Ефимыч, Николай Ефимыч! Тоже хорошо вот две дюжины женских рубашек — двести сорок рубликов плакали. Это уж штуки немки Берты. Очень она жадна на одежу... И кофточек захотела... Тьфу!..

Благодаря болтливости кучеров, швейцаров и разных услужающих Иван Андреич отлично знал все шашни молодого барина и смотрел на многое сквозь пальцы. Например, немка Берта еще ничего, можно терпеть. Француженка Клемане — ну, эта похуже. Эту рубашками да кофточками не утешишь, а больше по ювелирной части. А хуже всех англичанка Свен — та прямо потребовала дачу в Павловске, полный выезд и прочую сервировку, какая полагается на ихнем гусарском положении. Тоже, хоть и девицы, а своя служба, в этом роде...

А молодой барин все спал и спал. Иван Андреич два раза посылал Гришку Отрепьева в спальню, и тот возвращался ни с чем: спит молодой барин.

— Врешь ты все, непутевая голова! — обругал его Иван Андреич и направился сам.

Надо переговорить, а то француз увертлив, наврет не знаю что. Как это язык этот французский поворачивается на такие слова: тридцать шесть тысяч... Ведь на такие деньги церковь можно выстроить где-нибудь в бедной деревушке.

Молодой барин действительно спал и, когда Иван Андреич его разбудил, страшно рассердился.

— Э... э... Что там случилось? Пожар? Наводнение?

— Николай Ефимыч, тут, значит, француз этот...

— Какой француз?

— А этот... Из ресторана... Счет в тридцать шесть тысяч приволок... Как же это так?

— Очень просто: гони его в три шеи и сам убирайся вместе с ним к черту...

— Это уж как вам будет угодно... — обиделся старик.

— Именно мне это и угодно: к черту, в ад, в пекло...

Иван Андреич обиженно удалился и долго ворчал.

— Ну и пусть платит опека... Мне-то какая печаль? Кажется, уж стараюсь вполне, из своей кожи готов вылезти...

Потом у Ивана Андреича явились такие мысли: положим, молодой барин его обругал и даже выгнал, только ведь он это сделал спросонья, да и так все равно ничего не пони-

мает. Пусть там опека считается с проклятым французом... Да ежели рассудить правильно, так что такое для Мездриных-Ухватовых тридцать шесть тысяч? Наплевать — только и всего. Конечно, обидно платить французишке за «здорово живешь», ну, да, видно, ничего не поделаешь.

Вернувшись к себе в контору, Иван Андреич увидел лежавшую на конторке «депешу» и подумал вслух:

— Ну-ка, что нам изобразил Максим Алексеич... Хе-хе! Тоже по-французски нажаривает старик... Ох, грехи, грехи!..

В сущности, Иван Андреич вперед знал содержание этой праздничной телеграммы из Парижа, но все-таки, для порядка, оседлал нос пенсне и прочел вслух:

— «Же фелисит мон Коко де ля нувель анэ»... Так-с. Ах, старый хрен... А тут еще прибавил что-то...

Старик напрасно старался разобрать прибавку и швырнул телеграмму.

— Это старый хрен надо мной хотел пошутить, а мы ему брякнем: «Же фелисит ма шер мер де ля нувель анэ»... Хе-хе!..

Эти две стереотипных французских фразы аккуратно пересылались между Петербургом и Парижем несколько лет. Иван Андреич списывал с бумажки заученную фразу, как делал и Максим Алексеич.

В приписке, которую Иван Андреич не мог разобрать, стояло: «Votre mere est morte», хотя телеграмма и была за подписью Елены Анатольевны, то есть покойницы, которая сама извещала о своей смерти.

Истина раскрылась только на другой день, когда к Коко приехал опекун. Молодой барин с недовольным видом проговорил, вызвав Ивана Андреича:

— Ну, вы там что-нибудь телеграфируйте... Одним словом, такое...

Опекун стоял у окна, спиной к ним, и чистил щеточкой ногти.

По дешевой цене

(Глава из романа)

I

...Чем ближе купец Жерлов подъезжал к Петербургу, тем хуже делалось у него на душе. Являлась какая-то скверная оторопь и малодушное желание вернуться назад, в свою далекую сибирскую трущобу. Ведь всего-то взять обратный сквозной билет — и опять сам большой, сам маленький. Глядя на скуластое, заросшее до самых глаз щетинистой бородой лицо Жерлова, трудно было бы предположить о его внутренней подкладке. Жерлов часто вздыхал, вытирал без особенной надобности лицо шелковым китайским платком и с тоской смотрел на менявшихся соседей. Пробовал он знакомиться, но из этого как-то ничего не выходило. К нему относились с явным недоверием.

— Вторую неделю еду... — смущенно объяснял Жерлов, напрасно стараясь поддержать невязавшийся разговор.

— Вы из Сибири? — следовал вопрос.

— Около того...

— А далеко это будет?

— Да вот вторая неделя пошла, как я выехал из дому.

— В Питер?

— Да, около того...

— По делам, конечно?

— Есть такой грех... Хлопот много: от городской управы, потом от земства, потом...

Случайные собеседники сразу угадывали самые тайные мысли Жерлова, что его и удивляло и огорчало.

— Железнодорожную веточку хотите приспособить к своему Пропадинску? Так-с... И заем при этом городу для устройства электрического освещения, детского убежища и поднятия кустарных промыслов? Очень хорошо. А может быть, что-нибудь продать желаете или организовать компанию для эксплуатации чего-нибудь?

— Да, около того... — смущенно отвечал Жерлов, начиная бояться словоохотливого собеседника.

Ему казалось, что ехавшие господа все был народ отпетый и рано или поздно попадут в

места не столь отдаленные. Конечно, одеты все превосходно и держат себя очень даже свободно, а подсудимой скамьи не миновать.

«Видали мы вашего брата, — озлобленно думал Жерлов. — На словах-то вы все, как гуси на воде... Мы тоже ведь не в угол рожей».

Чем ближе к Петербургу, тем пассажиры в глазах Жерлова делались подозрительнее, а в Москве насели такие господа, что он постоянно ощупывал боковой карман, где в толстом бумажнике лежали разные документы и деньги. На вид все народ чистый, холеный, а что у каждого на уме — неизвестно. Потом до Москвы все точно боялись друг друга, оглядывались и говорили вполголоса, а тут начались совсем откровенные разговоры. Оказалось, что большинство ехало в Петербург по таким же делам, как и Жерлов: депутаты от дворянства, земцы, чиновники, помещики и просто люди с таким видом, точно они что-то потеряли и непременно должны найти. Особенно Жерлов не доверял помещикам — для его сибирского глаза это были уже окончательно неизвестные и крайне подозрительные люди. Чем живут люди? Ни ремесла, ни промысла,

ни службы, ни торговли. В конце концов для Жерлова сделалось ясным только одно, — именно, что все эти люди будут его жестокими конкурентами и, наверно, везде сумеют забежать вперед, потому что народ тертый, бывалый, и у всякого в Питере найдется не одна «рука».

«Эти-то уж пролезут», — думал Жерлов, прислушиваясь к свободному разговору совсем неизвестных ему людей.

А говорили больше всего о дворянском банке, о новых железных дорогах, о нефти, об южном железе, каменном угле, астраханской рыбе, московских миткалях и плисах, о казенной винной монополии и т. д. Все эти вопросы мало интересовали Жерлова, как непонятное и чужое дело. Его удивляло больше всего то, что все его конкуренты были необыкновенно веселы, точно ехали на какой-то праздник. Одна сцена произвела на Жерлова жуткое впечатление. Среди пассажиров был один почтенный старик с окладистой седой бородой, одетый безукоризненно, с шиком настоящего старого барина. Всю дорогу от Москвы он служил какой-то живой мишенью для

острот, все смеялись над ним, и старик сам смеялся над собой.

— Помирать едешь, Иван Петрович?

— Да... Надо когда-нибудь помирать, — соглашался старик, разглаживая бороду. — Вот что скажет дворянский банк...

Одно слово «банк» вызвало неудержимый хохот. Насколько Жерлов мог понять, этот Иван Петрович ухитрился получить из банка за свое имение вдвое больше, чем оно стоило. Потом говорили о конском заводе Ивана Петровича, по пальцам перечисляя его маток и знаменитых производителей. Дальше спрашивали о какой-то борзой «Крале», имевшей пять медалей, о тамбовской тетке, которая должка скоро умереть, о доезжачем Бухме, который сломал ногу, и т. д. Вероятно, все это, взятое вместе, было очень смешно.

— Вам нужно просить пенсию от дворянского банка, — советовал кто-то Ивану Петровичу, и все опять хохотали.

Жерлов только ежился от этого смеха. Как-то очень уж нехорошо все смеялись. Несколько раз он пробовал завести серьезный разговор, но из этого ничего не выходило.

— Вы не знаете ли господина Ноникова? — таинственно спрашивал он, подсаживаясь к кому-нибудь.

— Ноникова? Кажется, есть наездник Ноников...

— Нет-с, совсем даже не наездник, — обижался Жерлов.

— Значит, адвокат?

— Около того... то есть он совсем не адвокат, а был прежде провизором в аптеке. Да... А сейчас воротила по всяким делам...

— Тэ-тэ-тэ... Егор Матвеич? Так вы так бы и сказали с первого раза. Кто же не знает Егора Матвеича!.. Он живет в ресторане Кюба, то есть не живет, а в том роде, как приходит туда каждый день завтракать. У него тут все дела...

Жерлов даже обрадовался, но сейчас же был огорчен Иваном Петровичем, который шепелявым барским выговором объяснил:

— Конечно, Ноников... Я его отлично знаю, а прежде мы были даже друзьями. Да... Как приеду, бывало, в Питер и сейчас посылаю в аптеку за Новиковым. Ну, пообедаем в «Малом Ярославце», а потом играть на бильярде.

Я за каждую проигранную партию платил ему сто рублей, а он — денег тогда у него не было, — он пролезал под бильярдом. Да, его хорошо знаю...

Все так хохотали, что Жерлову сделалось неловко. Помилуйте, о таком человеке и так разговаривать. Можно сказать, все зависит от Егора Матвеича, а они ржут. И Иван Петрович хорош, а еще барин называется.

Когда поезд был уже недалеко от Петербурга, этот Иван Петрович подсел к Жерлову, весело подмигнул и, фамильярно хлопнув по коленке, проговорил:

— Продаваться едете? По физиономии вижу... Мы уж свою Расею распродали, а теперь ваша сибирская очередь. Читал в газетах, что у вас открылась дешевка на все... У нас так же было, а сейчас и продавать нечего. Так-с, батенька... В свое время все там будем. Кланяйтесь Егору Матвеичу... Он помнит меня. Я его прежде Егоркой звал.

II

По совету всезнающего Ивана Петровича, Жерлов остановился в «Европейской гостинице».

— Нельзя, голубчик, — объяснял старик, подмигивая. — Конечно, дорогонько, но зато престиж... А это главное! Остановитесь где-нибудь в меблированных комнатах, и уважение совсем другое. Все наши всегда останавливаются в «Европейской», и я тоже. Меня там все знают, и с управляющим я на «ты».

Действительно, все «наши» остановились в «Европейской», и Жерлов встречал их в буфете. Они не говорили уже о своих делах, а только об еде: «Боже мой, какую уху из налима подали в «Малом Ярославце»... Печенка у подлеца была, как у алкоголика». «А как орудует у «Контана» повар-француз. Тоже невредно готовят у «Эрнеста» на островах». «Палкин» был единогласно забракован, как «выдохнувшееся учреждение», причем Иван Петрович уверял, что у него и никогда не было «настоящей традиции», не было руководящей идеи вообще и определенной физиономии в частности. Жерлов решительно ничего не понимал в этих желудочных делах и с тоской думал о родных сычугах, о степной баранине, струганине из нельмы, мороженых пельменях и прочих прелестях доброй сибир-

ской кухни. Впрочем, желудочное хвастовство его конкурентен заставило его сказать некоторое слово:

— А вы закусывали когда-нибудь живой стерлядью?

— То есть как живой?

— Очень просто: взять живую стерлядку, выпить рюмку водки, отрезать ломтик и закусить.

Все «наши» были поражены, хотя Иван Петрович и уверял, что это «стара штука».

— А вы сами можете это проделать, господин Жерлов?

— И даже очень просто... Интересно, когда ломтик живой стерляди шевелится у вас во рту.

— А вы нам это можете показать?

— Около того...

Явились, конечно, критики, которые уверяли, что в этом решительно ничего нет особенного, и что на Неве зимой самоеды едят какую угодно живую рыбу. Но все-таки сибиряк-купец сделался некоторой кулинарной величиной. Можно даже демонстрировать его за каким-нибудь деловым ужином. Вооб-

ще, человек серьезный, у которого есть будущее. Увлеченный успехом, Жерлов рассказал, как у него на заимке есть один работник, который глотает живых ершей.

— Ну, это, кажется, уже лишнее, — заявил Иван Петрович, делая гримасу.

Впрочем, попавший впросак Жерлов сейчас же поправил свою репутацию.

— А знаете, господа, как пьют на шарап? У нас это постоянно делается, и выходит даже очень смешно. Например, нас четырнадцать душ собралось, ну, а хозяин нальет всего тринадцать рюмок. Все должны пить вместе, и один остается без рюмки. Дело доходит иногда до драки...

«Дела» начали обделывать только после того, как порядочно проелись. Жерлов тоже не торопился, и Ноников, толстенький лысенький человечек, очень был удивлен, что он живет в Петербурге уже вторую неделю и глаз не кажет.

— Как-то вы это, Иннокентий Фомич?

— А так, компания хорошая попалась. Ну, так мы того... Я в «Европейской» остановился.

— А, понимаю... Там у меня несколько кли-

ентов проедаются. Да, понимаю...

Когда Жерлов принялся перечислять все ходатайства, которые привез с собой, брови Ноникова поднимались все выше и выше, и он в такт рассказа повторял: «Так, так», точно у него в голове ходил маятник.

— А еще ничего нет? — спросил он, дослушав терпеливо до конца. — Значит, все?

— Около того... то есть все.

— Так, так... Удивительный вы народ, господа провинциалы. Все натащите в Петербург столько ходатайств, жалоб и воплей, что сам царь Соломон ничего не разберет. Да... Вошли во вкус и ходатайствуете решительно обо всем. Кто это только придумывает вам эти ваши нужды?

— Помилуйте, Егор Матвеич... Ведь я не от себя лично, а по доверенности. Мое дело представить куда следует, обратить внимание, заинтересовать...

— Так, так... Очень мило.

— Лично ведь я тут ни при чем...

Последнему Ноников, конечно, не верил. У всех его клиентов был один способ обманывать его: сначала одолеют всякими обще-

ственными нуждами и ходатайствами, а потом уже, как будто между прочим, распояшутся и со своей личной нуждой. Так же держал себя и Жерлов. Все эти хитрые провинциалы напоминали собой тех налимов, которые прячутся по углам просторных аквариумов, пока не придет повар и не вытащит сеткой самого жирного на уху.

— Будем работать, Иннокентий Фомич, — говорил Ноников, принимая деловой вид. — Только я должен предупредить, что сейчас завален всякими делами по горло... да. В буквальном смысле дохнуть некогда. Знаете, мы с вами будем встречаться за завтраком у Кюба. Да, там встретим кой-кого, кто может пригодиться.

— Что же, мне все равно...

Жерлов уже слышал о ресторане Кюба, как главном пункте, где собираются дельцы по всем отраслям и куда приходят ходатайствующие провинциалы. Этот ресторан был как бы преддверием для всех учреждений. Седовласый Иван Петрович повторял, закатив глаза:

— Ах, Кюба... это... это — идея. Тут увидать

таких людей, таких людей, что... вообще... А каких там устриц подают... Прежде всего: идея. Ведь всякий человек ест, а тут еда соединена с делом. От Кюба, батенька, зависит все...

Жерлову пришлось скоро на опыте убедиться, как делаются в Петербурге дела. В двенадцать часов он отправлялся туда, как на службу, заказывал завтрак и ждал Ноникова, который являлся с таким озабоченным видом и говорил каждый раз:

— Ах, как я устал!

У Кюба Ноникова все знали, и он всех знал. Лакеи ему улыбались, как своему человеку, и у него было даже свое место, точно он приходит на службу. Жерлов тоже скоро изучил собиравшуюся в ресторане публику и знал почти всех постоянных посетителей. Тут были и военные генералы, и разных ведомств инженеры, и адвокаты, и всевозможные дельцы, и какие-то мудреные иностранцы, и просто люди, которые точно хотели умереть именно при такой ресторанной обстановке. Ноников особенное внимание обращал на провинциалов, большинство которых он тоже знал со

всей подноготной.

— У нас, Иннокентий Фомич, идет нынче настоящая дешевка, как в гостином дворе. Продаем всю матушку Русь по частям и вообще... Тут всякого злата по лопате: вон кавказский нефтяной князь, там екатеринославские угольщики, там сибиряки-золотопромышленники, мурманские рыбники, табачники, виноделы, сахарозаводчики и т. д. Золотое, небывалое время, потому что заграничный капитал на нас двинулся и все забирает — уголь, виноград, железную руду, яйца, лен, рыбу, золото, нефть. Одним словом, продаем с себя последнюю кожу...

Ноников, видимо, подготовлял своего клиента для решительного объяснения. Происходившая «дешевка» приводила Жерлова в отчаяние. Что же это таксе, в самом-то деле? Все продадим, а что самим останется?.. С другой стороны, он отлично понимал, почему Ноников так распространился о дешевке. Последнее слово начинало его просто возмущать, как и другие термины. Например, что такое означает железный голод?

Дешевка шла на такие предметы, самого

названия которых Жерлов никогда не слыхал. Один офицер продавал какой-то аэролит, доставшийся ему по наследству от тетки, другой господин предлагал купить альбуминный завод, и т. д., и т. д. Жерлов чувствовал только одно, именно — что у него начинает кружиться голова.

А Ноников все тянул и тянул. Ходатайства были представлены куда следует. Везде обещали содействовать и были чрезвычайно любезны, хотя решительных ответов и не последовало. Нужно подождать, сделать доклад, передать в комиссию и еще подождать. Обворожительная готовность петербургских чиновников пожертвовать собственной жизнью за нужды далекого Пропадинска сначала трогала Жерлова чуть не до слез. Помилуйте, такие важные лица — ведь каждое слово на вес золота. Но потом сказалось, что и другие провинциалы пользовались не меньшим вниманием, а Ноников только молча улыбался.

— Уж здесь все устроят... — говорил он. — А что бы нам съесть такое?.. Да, гм...

В сущности, Жерлов плохо помнит, как он выехал из Петербурга. Он пришел в себя толь-

ко около Твери и с радостью подумал:

— Домой, в Пропадинск... да.

Свое личное дело он все-таки устроил при любезном содействии, причем страшно продешевил.

— Что делать, Иннокентий Фомич, — утешал его Ноников. — Такое уж время...

Самородок

Глава 1

...Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться и тысячи колес, валов и шестерен безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина какого-то спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепитель-

ных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякшая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических всполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить все заводское дело и, вообще, из ничего сотворить мир. На Урале это вошло уже в обычай: плохие дела на заводах поправляются новым главным управляющим и ничем больше. Таким образом, выработался даже тип такого главного управляющего, которого вызывают из-за тридевяти земель с специальной целью поднять на приличную высоту целый заводский

округ, спасти веками установленное дело и влить живые силы в умирающего. Конечно, такой чародей может проявлять свои силы только при наличности некоторых экстраординарных условий, то есть увеличенного жалованья. Нормальный главный управляющий довольствуется скромной цифрой в 10 или 15 тысяч, а «главный управляющий по преимуществу» поднимает себе цену в 30 тысяч minimum. На Урале таких необыкновенных людей называют самородками. Самородок поднимает себе цену тем выше, чем отчаяннее положение заводов. Впрочем, это явление выработалось историческим путем и не должно удивлять неподготовленный ум. Чем богаче заводский округ на Урале, тем хуже его дела — это уже аксиома. В прежние времена, когда горные инженеры сосредоточивались на казенных заводах, заводское дело вершили сами заводовладельцы и их близкие родственники. Когда при помощи этих родственных усилий дело доводилось до невозможного положения, спасителем являлся какой-нибудь свой доморощенный самородок, который гнул в бараний рог всякое дыхание,

дул палочьём и плетями, морил голодом и всякими увечьями, наконец выколачивал известный дивиденд. Это могло совершаться только в «обвязательное время», когда жизнь крепостного равнялась нулю. С эмансипацией старые порядки должны были кануть в вечность. Доморощенные самородки не могли пускать в ход своего единственного «средствия». При сокращении казенного горного дела остался свободным целый штат горных инженеров, который и поступил на службу к частным заводовладельцам. Практика показала, что и эти ученые администраторы, поднимавшие казенное горное дело шпицрутенами, были бессильны вести частный интерес нормальными средствами. Находились, правда, искусники, которые на время поднимали владельческий дивиденд на сотни тысяч, но все это оказывалось временным и скоропреходящим: искусник выжигал дотла ближайшие лесные дачи, не затрачивал на ремонт ни одного гроша, не вводил никакого усовершенствования, спекулировал на старательском золоте и т. д. В конце концов, искусник, разыграв свою партию, должен был сту-

шеваться вовремя, а его место заступал свой дешевый самородок, который начинал по-домашнему гнуть всех в бараний рог. Но как поверить своему доморощенному человеку, который за две тысячи жалованья сдерет кожу с родного отца? Появился в последнее время самородок интеллигентный, вооруженный всеми чудесами современной техники.

Округ Максунских заводов, выражаясь реторически, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин земли через край наполнены всякими богатствами, а поэтому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских заводов представляла из себя печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было идти. Целый ряд самородков довел дело до невозможного положения, а число наследников

все росло и дошло наконец до парадной цифры 101. Конечно, все эти 101 наследник требовали дивидендов, и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене, наследники наконец согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех да еще сделана прибавка, потому что положение заводов было признано всеми отчаянным.

Трудно даже приблизительно представить картину, когда фабрики перестают работать и тысячи людей остаются не у дел. Бедствуют рабочие, бедствуют служащие, а фабрика безмолвствует, как разбитая параличом. Тысячи нужд схватывают все заводское население и в несколько недель высасывают последние крохи. Поэтому понятно то нетерпение, с каким в Максуиском заводе ожидали приезда нового главного управляющего. На крылечке

у заводской конторы каждое утро собирались служащие и просиживали здесь до обеда. Определенного никто ничего не знал, а поэтому всяким слухам и переговорам являлось открытое поле. Рабочие толпились у фабрики, на базаре и около громадного господского дома, куда должен был приехать главный управляющий. Это был целый дворец, построенный еще в доброе старое время самим заводовладельцем, родоначальником 101 наследника. Господский дом был сейчас пуст. Вся дворня разбрелась куда глаза глядят. Оставался один дворецкий Корляков, лысый и кривой старик, служивший верой и правдой всем главным управляющим. Он представлял из себя типичного представителя раболепной заводской дворни: льстил, наушничал, пресмыкался пред начальством и притеснял всех, кто от него зависел. У него была своя кличка «Поднос пролизал».

— Эй, Корляков, когда новый управляющий приедет? — кричали ему голоса с широкого двора. — Ну-ка, скажи...

— А вот погодите, горлопаны: достанется всем на орехи.

— Нно-о?..

Корляков вел эти беседы с балкона, на котором располагался со всем комфортом. К мужичью он относился с презрением, потому что причислял себя к заводскому начальству: «Мы покажем!»... Мелкие заводские служащие часто заискивали перед Корляковым, чтобы при случае замолвил словечко у начальства. Теперь все были почему-то уверены, что один Корляков знает, какой управляющий приедет. Если в конторе ничего не знали, так кто-нибудь должен же знать, — конечно, Корляков знает, потому что на его обязанности приготовить «покои» и встретить.

— Иванов едет... — отвечал Корляков с приличной важностью.

— Врешь ты все... Немца, наверное, пришлют. Уж ты лучше не притворяйся...

Уверенность, что пришлют немца, немало угнетала всех. Ох, прижмет же всех этот немец! Дело известное. Немцев-управляющих народ не любит: хоть живодер, да свой. В конторе говорили, что вообще хорошего нечего ждать. Были тут опытные люди, видавшие виды. Взять того же надзирателя Очкина —

прожженный человек, или главный бухгалтер Сыромолотов. Много служащих переменилось при разных управляющих, а они сидят себе, точно приросли. Вон дома какие понастроили, а у Сыромолотова целая заимка на озере. Конечно, с подрядчиками рука в руку живут — вот и богатство. Мелкая заводская сошка, придавленная домашней нуждой, думала одно: только бы скорее... При переменах главных управляющих прежде всего доставалось служащим, потому что новая метла начинала всегда с конторы. И то неладно, и это не так, и пятое-десятое не годится. Да каждый управляющий еще с собой навезет родни да разной челяди — каждому нужно отнять чей-нибудь кусок. Положение рабочих несравненно лучше. Если понизят плату, так всем, а на людях и смерть красна.

Было известно только одно, что приедет один главный управляющий, который будет загребать жалованье всех трех смещенных, и что он едет с особыми полномочиями. Очкин утверждал, что едет какой-то Тараканов, служивший раньше где-то «в казне», а Сыромолотов оспаривал его и называл Шулятникова,

служившего в Западном крае.

— А все равно: один черт, — соглашались оба. — Такое копье пришлют, что чертям тошно...

Мелкая заводская сошка глухо молчала. Вот лесной смотритель Треногов, доктор Носков и другая заводская аристократия, так те в ус себе не дуют. Им что: сегодня — здесь, завтра — там. А настоящему заводскому человеку деваться совсем некуда...

Глава 2

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали. Встречал один Корляков, который с вечера переложил лишнее и поэтому бросился услуживать с пьяной угодливостью, как дрессированный пес.

— Ты кто здесь будешь? — довольно грубо спрашивал приезжий, меряя изловчившегося на господской службе «человека» немного тусклыми глазами.

— А как случится, вашескородие... Теперь за всех отвечаю: и за дворецкого, и за камардина, и за человека.

Вытаскивая из экипажа вещи, Корляков

смекнул в уме, что у барина не густо в кармане: чемоданишко съежился, осеннее пальто на среднюю руку, остальное все так себе. Впрочем, все они приезжают сюда «в худых душах», а потом так раздуются, что и рукой не достанешь. Одно не понравилось старому слуге в новом барине: никакого внимания он не обратил на княжескую обстановку господского дома, точно вот на постоялый приехал. Среднего роста, немного сутулый, с большой головой, Шулятников походил на не совсем разжатый кулак. Эта же кулачность сказывалась и в складе всего лица. С дороги он не попросил даже чаю и сейчас же завалился спать.

«Ну, этот доймет... — решил про себя Корляков, мигая слипавшимися глазами. — Орёлко!.. Ах, кошки его залягай, и сунуло же меня с вечер-а натренькаться...»

Утром Шулятников проснулся чем — свет, растолкал Корлякова и, на ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопленная за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ла-

рей. Перемонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потеков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это заставило его поторопиться. Обежав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе.

— Однако сколько вас... — удивился он, не снимая фуражки. — Целая армия.

Когда бухгалтер, по заведенному обычаю, хотел отрекомендовать служащих, он махнул рукой: не нужно церемоний. Буркнув что-то себе под нос, он молча оглядел всех и быстро вышел.

Вся контора притихла, как один человек. Вот она когда беда-то накатилась: этот не спустит. У маленьких и забитых служащих со страха захолонуло на душе. Куда они денутся с семьями?

— Жалованье будет урезывать... — вздохнул кто-то в смущенной толпе.

— Хорошо еще, если одно жалованье, а то

и совсем по шапке...

Старые служаки достаточно видали на своем веку всякого начальства и порешили в голос, что добра нечего ждать.

А он был уже дома и, не глядя на вытянувшегося в струнку Корлякова, быстро и решительно проговорил:

— Главное, не пускай гурьбой... Буду принимать по одному. Сам пошлю, кого нужно... Ворота запереть.

— А если хлеб-соль рабочие принесут... — заикнулся было Корляков и сам испугался собственной смелости.

— Что-о?.. Гони в шею... Я приехал не в куклы играть.

Корляков сделал налево кругом, чтобы уходить, но Шулятников его остановил:

— Да, вот что... Поищи кого-нибудь на свое место. Мне твоя физиономия не нравится...

— Не погубите, вашескородие... Я тридцать лет верой и правдой...

— Пожалуйста, без разговоров... Не люблю.

Первым козлом отпущения должен был явиться управитель Утяков, старый заводский человек, но он, проведав беду, сказался

больным. Таким образом, пришлось испить чашу первому бухгалтеру Сыромолотову. У него подгибались колени, когда он входил в кабинет самого.

— Имею честь представиться...

Шулятников быстро взглянул на него и, не приглашая садиться, проговорил:

— Имеете свой дом?

— Точно так-с...

— А сколько стоит?

— Да как сказать...

— Не отнимайте моего времени и говорите прямо!

— Две тысячи... нет, три.

— Так-с... А жалованье?

— Шестьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки. Семья большая...

— Так-с... Семья большая, жалованье маленькое, а откуда же дом явился?

— Еще от родителей...

— Вздор!

— У других тоже дома: у надзирателя, у управителя, у лесного смотрителя, у плотинного...

— Значит, все вы воры... да. Ищите себе

места… До свидания.

— Семья… ребятишки… не погубите… — бормотал несчастный, протягивая руки вперед.

— Корляков, кто следующий?..

— Слушаю-с.

Сыромолотов вышел из кабинета, пошатываясь, как пьяный. В его голове коротенькая сценка приема колесом вертелась. Куда?.. Следующим нумером был Очкин, который по лицу приятеля выдел, что дело плохо. Он подтянулся, перекрестился и пошел в кабинет.

— Надзиратель Очкин…

— Ага… Дом имеется?

Вместо ответа Очкин начал тихим голосом, как это делал раньше, наушничать на своих сослуживцев. Что же дом, — есть и дом, как и у других. Жалованье, конечно, маленькое, и приходится иногда получить благодарность. Так уж заведено… Да и какой у него дом? Вот у лесного смотрителя Треногова или у управителя Утякова, так у них, действительно, дома, а у Сыромолотова еще заимка.

— Значит, взятки берете? — спрашивал Шулятников в упор.

— Не отпираюсь... Благодарят некоторые: кто бревно привезет, кто пару рябчиков, фунт чаю... Все берут.

Эта откровенность понравилась Шулятникову, и он проговорил:

— Садитесь... Так все берут?

— Решительно все... Это уж так заведено. Маленький человек маленько возьмет, большой — много...

— Ага... Если берете с рабочих и подрядчиков, то, само собой, воруете владельческое железо, выводите плутни с подрядчиками, составляете фальшивые счета — так?..

Началась тихая, откровенная беседа. Очкин, спасая себя, продал всех остальных, а Шулятников во время разговора делал беглые заметки в своей записной книжке.

— Вы себя спасли откровенностью... — заметил он, делая знак, что аудиенция кончилась. — Я буду иметь вас в виду.

Этот приступ к делу навел на всех панику. Что же будет дальше, если с первого раза половина заводских служащих осталась не у дел, а другая половина ожидала ежечасной кончины? О жалованье, конечно, никто и не

заикался: что дадут, то и хорошо. Уныние сделалось общее. Заводские служащие составляли свой замкнутый мирок, который родился, жил и умирал в пределах своей заводской дачи. Кроме своего заводского дела, они ничего не знали, и им некуда было идти. Поэтому можно себе представить отчаяние нескольких десятков семейств, выкинутых на улицу... Но Шулятников был неумолим, потому что его принципом было всегда держать данное слово. Он приехал сюда не с благотворительными целями, а заводы не богадельня. Всякая радикальная реформа требует жертв, а Максунские заводы совсем заплесневели в своих допотопных порядках.

Рабочие, действительно, явились с хлебом-солью и не были приняты.

— Оставьте хлеб-то себе: пригодится, — посоветовал ехидно Корляков, все еще не уверившийся в собственной отставке. — А соли нам насыплют...

Да и как было поверить: тридцать лет безвыходно Корляков прожил в господском доме, тридцать лет пресмыкался перед каждым новым начальством наушничал, подлажи-

вался, подличал — и вдруг, за здорово живешь, пожалуйте на чистый воздух. В отчаянии Корляков отправился к своему заклятому врагу, заводскому управителю Утякову. Управительский каменный дом красовался у самого базара, как только что снесенное яичко. Ворота крашеные, в палисаднике цветы, двор мощеный, все поставлено так крепко и плотно, как умеют строиться одни заводские управители из готовых «господских» материалов. Утяков прослужил на своем управительском месте тоже тридцать лет, и Корляков пошел к нему, как к сослуживцу и товарищу по несчастию. Конечно, он наушничал на Утякова, но в заводе только он да Утяков на одном месте прослужили тридцать лет.

— Ну что, подколодный змей, получил награду?.. — встретил Утяков гостя.

— Одно зверство, Спиридон Митрич.

— А на меня опять наушничал?

— Не скрою, был такой грех.

— И не помогло?

— Нет... Вот Очкин, так тот в самую точку попал. Ловок!..

Дома Утяков ходил в халате и с длинной

трубкой в руках.

Его седая голова точно вросла в широкие плечи; темные живые глаза смотрели из-под нависших бровей насквозь. Суровый был человек, и фабрика боялась его, как огня. От Спиридона Митрича не укроешься: на два аршина под землей видит. С управляющим он держал себя независимо, как человек, обеспечивший себя на черный день. Попыхивая трубкой, Утяков несколько раз прошел под носом Корлякова, а потом по привычке вдруг остановился и заговорил:

— А я вот никого не боюсь... слышал? Мне он тоже откажет, а я и в ус не дую. Так и скажи: болен Утяков. Ишь, налетел и давай зорить людей... Все воры, а того не знает, что и сам будет тоже воровать. Молод еще, на рыле молоко не обсохло...

— Это вы правильно, Спиридон Митрич, — вторил Корляков каким-то расслабленным голосом. — Мы с вами по тридцать лет вытянули — и вдруг, здорово живешь, пожалуйте на свежий воздух... Очкин-то чем лучше нас?

— Дурак ты, Корляков, вот что! А впрочем, хочешь рюмку водки?..

— Ах, Спиридон Митрич... то есть так вы правильно сказали!..

— А ты скажи идолу-то: Утяков болен... Утяков не будет кланяться.

Глава 3

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь, и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главнее водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни.

— Зачем у вас голуби на фабрике? — спросил Шулятников дозорных, расхаживая по корпусам.

— А так, сами привадились, вашкобродие, — докладывали подневольные люди, вытягиваясь, как лягавые на стойке. — Прилетит и живет... Известно, божья птица.

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и при-

диваться начал к каждому шагу, и очень уж ругаться лют. Так и норовит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы, не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой — везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машиниста, два дозорных, лошади, голуби и т. д. Прежде деньги выдавали выписками, через две недели, а теперь стали выдавать помесячно, как жалованье служащим. Но со всем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину. Таким образом, количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Горному Уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же еще требовать от заводоуправления.

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам.

Шулятников предложил углепоставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим. Для него было решительно безразлично, кто являлся действующим лицом: голуби, беззаконно обитавшие под крышей фабрики, или целая деревня углежогов. Прежде всего принцип, идея, а остальное вздор. Нужно привить чувство законности, с одной стороны, а с другой — сделать из людей живые машины — и только. Что за глупости, в самом деле, когда потерявшие место служащие клянчили и плакались, а рабочие отказывались от своего дела, — это какой-то романтизм. Когда Шулятникова выводили из себя пристававшие к нему просители, он отвечал одно и то же всем:

— Поймите одно: я продал себя заводовладельцам и прежде всего должен соблюдать их интересы... Вы хотите, чтобы я поступил против совести!

Нужно сказать, что Шулятников, несмотря на свою выдержку, все-таки иногда чувствовал себя как-то не по себе, особенно на фабри-

ке. Контора смирилась и уничтожилась. Думать здесь о каком-нибудь сопротивлении было бы смешно. Каждый дрожал за свою шкуру. Но другое дело фабрика. Переходя из корпуса в корпус, Шулятников встречал целый ряд недовольных лиц, и на него смотрели такие озлобленные глаза; иногда вдогонку слышалось весьма тяжелое словечко или глухой ропот. Но Шулятницов делал вид, что ничего не замечает, и проходил сквозь строй недовольных лиц со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Что делать, рабочие слишком распущены и не могут понять своих прямых обязанностей. Нужно выждать время, пока все упорядочится. А все-таки, когда вечером Шулятников оставался один в кабинете, у него делалось тяжело на душе. Там, за толстыми стенами господского дома, как вода, поднималось глухое массовое недовольство. Именно скверно было то, что здесь нельзя было даже указать на известную единицу, а недовольны были все. Приходилось бороться почти со стихийной силой.

В один из таких скверных вечеров новый швейцар, заменивший Корлякова, доложил,

что пришел Утяков, бывший управитель.

— Этого зачем принесло? — вслух подумал Шулятников, предчувствуя какую-нибудь неприятную сцену. — Впрочем, зови...

Утякову было отказано, как и другим служащим, без суда и следствия — это предоставлялось новому управляющему особой статьей в его контракте с наследниками. Отправляясь на Урал, Шулятников решил вперед, что все мелкое и крупное заводское начальство — вор на воре, а рабочие — лентяи и мерзавцы, поэтому необходимо было формально обеспечить себя для радикальной реформы дела. Относительно мелких служащих Шулятников не беспокоился, но другое дело Утяков, прослуживший управителем тридцать лет. Понятно некоторое волнение, с которым хозяин ожидал своего гостя. Он даже встал с кресла, когда в дверях показалась седая голова выгнанного управителя.

— Утяков, бывший управитель...

— Чем могу служить вам, милостивый государь?..

Оба стояли на ногах и оба старались не смотреть друг на друга. Зеленый абажур лам-

пы давал мало света, и Утяков не узнал комнаты, в которой столько лет делал свои доклады и сообщения управляющим разных формаций: никакой обстановки, а одни бумаги да книги. Обведя всю комнату глазами и широко вздохнув, Утяков подошел к самому столу и заговорил:

— Вы не подумайте, Кирило Григорьич, что я пришел к вам проситься опять на службу или жаловаться... Силой милому не быть. Потом... я не задержу вас, — прибавил он, поймав нетерпеливый жест хозяина.

— Не угодно ли вам садиться, — сухо пригласил Шулятников, продолжая стоять у стола в министерской позе.

— Я не задержу, нет, не задержу, — бормотал Утяков, грузно опускаясь на стул и еще раз оглядывая комнату, — Я ведь родился и вырос здесь, Кирило Григорьич, и прошел службу с конторского писца... Все вижу насквозь, что, например, вам далее и непонятно. Все-таки вы новый человек.

— Если вы пришли читать мне наставления, то это совершенно напрасный труд...

— Ах, не то... совсем не то... Благодарить

пришел вас, Кирило Григорьич... да. Не утерпел... Извините старика.

Такой переход был настолько неожидан, что Шулятников даже отступил от стола и только развел руками. Он даже посмотрел на гостя такими глазами, какими смотрят на рехнувшегося человека. А Утяков сидел и улыбался.

— Извините, я, может быть, не понял... — забормотал теперь Шулятников, еще раз оглядывая гостя с ног до головы.

— Нет, так-с... именно благодарить пришел, — с удовольствием повторил Утяков свое странное признание. — Что вы мне отказали от службы — это особь статья... Что же, будет, послужил. А знаете, трудно отставать от дела... Один свисток всю душу выворотит, а тут сиди да поглядывай. Привычка-с... С малых лег каждый день на фабрике. А все-таки сижу я в своем домишке, гляжу на фабрику и радуюсь... На настоящую вы точку стали, Кирило Григорьич. Мало ли до вас было главных управляющих, а не могли проникнуть настоящей сути... да-с. А вы сразу. Так и следует.

Старик даже вскочил со своего места, протянул вперед сжатый кулак и повторил несколько раз:

— Вот так-с следует, Кирило Григорьич... Это уж верно. На паровых машинах недалеко уедешь да на разных усовершенствованиях: за границей свое, у нас свое... Одобряю, Кирило Григорьич!

— Да вы садитесь и потолкуйте, — приглашал Шулятников, все еще не решаясь поддаться на льстивые слова прожженного заводского дипломата. — Мне очень приятно, что нашелся хотя один человек, который меня понимает.

— Прежде-то Максунские заводы как красовались? — продолжал Утяков, покачивая головой. — Конечно, это еще до освобождения было... Как год, так и миллион дивиденда. Всем на удивление, можно сказать, дело делали, а как народ распустили — и пошло все скрипеть, как немазаное колесо. Все видишь, все понимаешь, а ничего поделать было нельзя... Рабочие набаловались — вот главная причина. Прежде-то в три часа поденщина начиналась, и всякая работа на урок. Не вы-

работал урока, — ну, его сейчас в машинную да гор-рячих. Управляющие были все свои и шутить не любили: всю шкуру спустят. Был один управляющий, Потаи Меркулыч, так у того даже особое кладбище было для скоропостижно умерших... Нельзя, заводское дело трудное. Все в струнку ходили... А как начали заводить новые порядки — все и пошло через пень-колоду. На моих глазах все было, Кирило Григорьич, и, может, слезами плачешь другой раз, а сила не берет. Управляющие сами послабляли народу. Думают: воля — так ничего не поделаешь. А по-моему, это одно пустое и даже очень глупое слово... Конечно, нельзя плетями наказывать рабочего или там на смерть его забивать, а зато он теперь весь в руках у вас. Только характер надо выдержать... Чуть что — сейчас его на холодок, пусть проветрится да пощелкает зубами с семьей-то. Прежде заводчик семью корми, а нынче сам промышляй... Земли у рабочих нет — ну, куда они денутся? По новым-то порядкам лучше старого пойдет, ежели у человека, например, характер и подтянуть... Хе-хе!.. Ей-богу, сижу я в своем домишке и раду-

юсь, Кирило Григорьич. В самую вы точку попали...

Старый крепостник с наслаждением потер свои красные руки. В нем сказывался тот фанатик заводского дела, каких создавал только один крепостной режим. Новые порядки, заведенные Шулятниковым, пришлись ему как раз по душе, хотя старик и не мог понять, что новый управляющий совсем чужой человек для заводов и что он выводит свою линию из других побуждений. Это были два мира, столкнувшиеся только на прижимке рабочих.

Тронутый признаниями старого заводского служаки, Шулятников начал развивать перед ним свою систему. Беседа продолжалась за полночь. Утяков слушал целую лекцию о ввозных пошлинах, о заработной плате на заграничных заводах, о новых порядках, какие должны быть введены, и в такт качал головой: «Именно так, Кирило Григорьич. Совершенно верно-с...» Только одного он никак не мог понять, именно, что заводам выгодно работать только вполовину, сбивая заработную плату и выжидая цены на свой товар.

— А куда же рабочие денутся? — удивлялся

старик, ожидая от Кирила Григорьича какой-нибудь новой замысловатой штучки.

— А это уж их дело, Спиридон Дмитриевич... Заводы не богадельня, а я продал себя заводовладельцам. Знаете русскую поговорку: нанялся — продался.

— Так-с, так-с... Я-то уж стар стал, другого и не пойму, так вы уж не взыщите.

Глава 4

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору, — так, по крайней мере, думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих набраны были новые, вместо Утякова явился какой-то горный инженер; жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного minimuma, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспо-

моществования.

— Я должен идти в данном случае против собственной совести, — уверял Шулятников заезжавших к нему гостей: — в душе я сочувствую и школьному делу, и больницам, и разумной благотворительности. Но я не вправе распоряжаться чужими средствами в ущерб моим доверителям... Принцип в каждом деле прежде всего.

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло, как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними именно у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили дерзостей. Это было уже слиш-

ком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели.

— Мы и до министра дойдем!.. — кричали самые смелые.

В видах предосторожности, Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большею частью неожиданно.

— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирило Григорьич, — уговаривал его Утяков. — Только бы завести их, подлецов, в оглобли.

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными

углежогами и посторонними рабочими.

— Конечно, дроворубов везде можно найти, — соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика. — Погодите, упыхаются...

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла

к своему делу, что ей трудно было с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.

— Ничего, привыкнут... Сами укротят себя, — нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела. — Конечно, вам-то тяжело Достается, Кирило Григорьич, да что поделаешь...

— Ах, терплю, все терплю... — жаловался Шулятников, устало закрывая глаза. — Дорого бы я дал, чтобы развязаться с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу... Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрии.

— Совершенно святой... А вы не сомневайтесь; укоротятся. Только вовремя надо и повода отпустить... Тоже живые люди.

— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался

живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался великолепный вид на горную панораму, уходившую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розовой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался, — ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца готовились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы, — можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.

Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и вы-

глядел сумасшедшим.

— Что такое случилось? — удивился Шулятников. — Пожар?

— Нет...

— Плотину прорвало?

— Нет...

По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный. «Этим дуракам только позволь...» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.

— Уезжают, Кирило Григорьич, — шептал старик, забегая вперед.

— Да кто уезжает?

— Ах, боже мой... Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась... Да вот сами увидите.

— Что-нибудь вы путаете... — пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность. — Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение...

— Нет, вы только посмотрите, Кирило Григорьич.

Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым: шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.

— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков. — Переселение народов...

Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:

— Обратите внимание на третий воз...

— Батюшки, да ведь это Корляков?!.. — изумился Утяков. — Стоит на коленях... снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы...

Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.

— Ага!.. Что же, скатертью дорога.

С улицы доносился глухой гул шагов, причитания баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.

— Кирило Григорьич...

— Ах, будет вам... Что еще?..

— Да ведь это лее невозможно, Кирило Григорьич... Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели все бросили: и дома и всякое заведение. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли...

— Не могу, Спиридон Дмитрич... А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.

— Таких рабочих, как наши максунские, — нет, уж извините, Кирило Григорьич. Умный вы человек, и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит...

Все равно, что кровь отворить.

— Пустяки... Вы знаете мой принцип; сказал — и свято.

Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трынтрава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ... Надо иге войти и в их положение, вот этих самых рабочих.

— Кирило Григорьич, опомнитесь... — умолял старик. — Ведь этак-то, пожалуй, будет похуже крепостного времени... Надо и о душе подумать, Кирило Григорьич. Тоже совесть есть в каждом человеке...

— Оставьте меня, пожалуйста, с вашими советами, — строго заметил Шулятников и повернулся уходить. — Я лучше один останусь на фабрике... да.

— А, так вы вот как... Эх, Кирило Григорьич, Кирило Григорьич...

Старик вдруг засмеялся, круто повернулся и без шапки, как был, пошел домой.

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли куда глаза гля-

дят. А Шулятников продолжал выдерживать свой принцип.

Глупая Окся

(Эскиз)

I

Что Окся глупа, в этом все были убеждены. В Ельниках так ее и звали: «глупая Окся»... Высокая и широкая в кости девка с рябым и скуластым лицом действительно существовала, кажется, исключительно одними растительными процессами, а умственная жизнь находилась в зачаточном состоянии. Впрочем, о последнем трудно было и судить, потому что Окся постоянно молчала. Если ее очень уж начинали донимать бойкие промысловые парни, она схватывала палку или камень и защищалась, как обезьяна.

— Уродилось же дерево смолевое!.. — удивлялся отец Окси, промысловый «швец» Тарас Пиканников. — Ни к чему ее не применишь... Одно слово, не в людях человек.

Вся семья так и смотрела на Оксю, как на рабочую скотину. Сила у ней действительно

была лошадиная, точно несправедливая судьба хотела вознаградить ее хоть этим за большие пробелы по части красоты и ума. Работала Окся в своей семье за двоих и так же безответно, как работает лошадь; но ее работы никто не хотел замечать, точно это так и должно быть. В сущности, она везла весь дом и ни от кого еще не слыхивала доброго слова, а пьяный отец ее же колотил сапожными колодками. Пьян был Тарас без малого каждый день, как настоящий сапожник. Нельзя, работа тяжелая: с устатку все промысловые пировали. Его широкое лицо с чахлой бороденкой давно опухло от беспросыпного пьянства, маленькие черные глазки постоянно были налиты кровью, а нос выглядывал клюквой.

Проваленная избушка, в которой околачивалась Тарасова семья, стояла на самом краю селения. Она давно покосилась, и в единственном окне половина стекол заменялась синей «сахарной» бумагой. Издали эта избушка так и походила на человека с подбитым глазом. Около избы ни загородки, ни конюшни, ни амбарушка, ни навеса — хоть шаром покати. Лес был рукой подать, и Тарас рас-

суждал так, что выстроиться всегда успеет; поэтому же он никогда и дров не запасал. Отправится Окся в лес, приволокет на себе сухарину[347] да и долбит ее, — сколько нужно, столько и отрубит. Внутри избушка походила на плохую кузницу или конюшню. Закопченный потолок, дымившая печь из битой глины, горбатый пол из кое-как обтесанных плах, две лавки, полати — и все обзаведение тут. По зимам в одной этой избе проживало целых пять душ: сам Тарас со своей старухой Акулиной, его сын Вахрушка с женой и Окся.

— Все-таки свой угол, — утешался Тарас. — Захочу — и новую избу поставлю: лес-от вон он стоит. Получше нас добрые люди в землянках живут, а мы еще слава богу...

Вахрушка по своей беспечности и характеру напоминал отца. Зиму он работал дома, а с первой вешней водой бросал все и уходил на промыслы вместе с женой. На заморозках к осени он возвращался под отчий кров и обыкновенно ничего не приносил с собой. Что зарабатывалось, то и пропивалось; но Тарас гордился своим единственным сыном. Как же, все-таки сын, работник в дому, а не то, что

девка! Окся тоже все лето работала на промыслах, и Тарас забирал деньги вперед под ее работу. Она и возвращалась с промыслов с деньгами, и Тарас опять отбирал у нее все, чтобы пропить с Вахрушкой. На что деньги глупой девке? Чтобы дело было вернее и Окся не утаила бы какого гроша, Тарас просто отдавал ее в аренду.

— Лошадь, а не девка, — нахваливал он дочь в кабаке своим нанимателям. — Сколько хошь сробит, потому безответная... Как упрется, так даже глядеть на нее страшно. Говорю: дерево смолевое.

Своя «швальная часть» у Тараса по зимам шла полным ходом. По приисковому делу разный «обуй» составлял главную статью расхода: без обуток нельзя, а в воде да и в грязи кожа точно горела. Когда Тарас был помоложе, он на промыслах занимал должность шорника, но потом женился, начал пить и поэтому исключительно занялся своим делом. Все мастерство — дома: сноха тачает голенища, Вахрушка обделывает закаблучья и подошвы, а Окся — все, что потруднее. Сам Тарас любил больше починку: положит заплатку, попра-

вит «подборы» к стоптанным козловым ботинкам какой-нибудь приисковой щеголихи — выпивка и готова. Более крупные заработки пропивались совместно с Вахрушкой, как главной подпорой и надеждой всей семьи.

Только раз безответная Окся взбунтовалась и потребовала себе козловые ботинки.

— Да на что тебе, дуре? — изумился Тарас. — Не к роже...

Но за Оксю вступилась мать, и ботинки были сшиты, то есть сшила их сама же Окся, работая по ночам.

— Пусть ее потешится, — уговаривала Акулина мужа. — Конечно, глупая: видит у других баб ботинки, вот и ей забрело в башку... Незамужница она у нас, так пусть хоть на ботинки на свои поглядит.

Тарас свеликодушничал, — разве с бабами сговоришь? Но ботинки Окси смущали его каждое утро, когда голова трещала с похмелья: рубль серебра задарма пропадает. Раза два Тарас пробовал стащить их у дочери, но та лезла на стену и не давала единственного своего сокровища. Эта история с ботинками,

однако, кончилась для Окси очень скверно. В одно прекрасное утро передняя стена избушки оказалась вымазанной дегтем.

Оксю били сильно и долго. Тарас и Вахрушка соединились в общей ревности за попранную фамильную честь. Избитая и покрытая синяками Окся молчала как убитая... В результате явился мертвый ребенок, и только тут Окся заговорила: как она плакала и убивалась над крошечным мертвым тельцем!.. Тут даже Тарас отступился и только развел руками.

— Вот дура-то... а? Ведь польстился же какой-то озорник на этакое дерево... Вот тебе и козловые ботинки! Другая бы радовалась, что господь прибрал младенца, а она ревмя-ревет, как корова.

II

Ельники — самые старинные золотые промыслы на Урале, и в крепостное время население было согнано сюда из разных местностей. Таким путем образовалось большое селение с типичным промысловым характером. Все постройки ставились как-то так, как строят на время: то крыша недокончена, то

недостает по «планту» двух окон, то службы поставлены через улицу и т. д. Даже церковь, и та не избегла общей участи. Каменное здание было начато очень широко, да так и осталось недостроенным. Впрочем, трудно и винить ельниковских мужиков за эти недочеты в стиле, потому что подземные шахты подходили под самое селение, отчего там и сям образовались провалы. В других местах прямо через улицу шли громадные свалки из пустой породы. В центре селения разливался небольшой пруд, а у плотины день и ночь гремела толчея.

Издали вид на Ельники все-таки был очень красив, благодаря обступившим жилье зеленым горам. Как на хорошей картине, получалось много света и воздуха, а синевшая даль уходила из глаз. Самый беспорядок построек придавал селению тот промысловый характер, когда людям некогда думать о комфорте, да и неизвестно, сколько поживется. Пока золото идет — и селение стоит, а «изубожились» жилы — и все разбредется куда глаза глядят. Но, несмотря на это существование «пока», каждый год появлялось несколько но-

вых изб и далеко желтели новые тесовые крыши. По таким желтым пятнам построек можно было безошибочно определить, кому повезло счастье: кто находил «хорошее золото», тот и начинал строиться. Так как счастье не одинаково, то эти постройки останавливались на разных стадиях: у одного выстроена вся изба и службы, у другого — одни службы, а у третьего только поставлен забор.

Земля, на которой красовались Ельники, была казенная, но наделов крестьянам не полагалось. Нарезку земли тормозила из года в год громадная компания, арендовавшая всю казенную землю. Таким образом, ельниковцы или работали у компании, как поденщина, или брали на себя отрядные работы, то есть получали от компании крошечный лоскуток земли, с условием сдавать все добытое золото компании по известной цене. Компания страшно эксплуатировала безземельное население и обставляла его труд невозможными условиями, особенно отрядные работы. Но каждый из рабочих мечтал именно о последнем, потому что только здесь представлялась единственная возможность поправиться и да-

же разбогатеть, конечно, если кому господь пошлет счастье. Это была самая азартная игра — игра на труд. В результате получалось то, что дивиденды компании все росли, а население беднело и развращалось.

В одно прекрасное утро в кабаке целовальника Пятачка поднялся неистовый хохот кабацких завсегдатаев. Главным действующим лицом являлся Тарас Пиканников, который пришел в новом азяме и заявил, что пошабашил свою швальню и будет с семьей робить на отряд, как другие.

— Землю тачать кайлом хочешь, Тарас?..

— А уж это как господь покажет... Будет мне сапоги вам шить, подлецам.

— Он шилом, того гляди, наковыряет себе золота, братцы...

Настоящие приисковые рабочие всегда смотрели с презрением на таких новичков, которые берутся искать золото, а сами не умеют взять лопату в руки. Попадет такой новичок в забой или в ледяную воду, — и шабаш, с копыльев долой. Где уж таким белоручкам тягаться с приисковыми волками, одеревеневшими на каторжной промысловой работе?

Поэтому заявление Тараса и вызвало неудержимый хохот: шваль, который целую жизнь, согнувшись в три погибели, ковырял шилом, вдруг пойдет на отрядную работу...

— Бить тебя некому, Тарас, — заявил и сам целовальник Пятачок, покачивая головой. — Погляди ты на себя, какой ты отрядный...

Но Тарас оказался хитрее, чем можно было предполагать. Он выбрал делянку уже с готовым золотом. Компания отдавала на отряд участки земли в двадцать пять квадратных сажен, с условием, чтобы шахты не углублялись ниже десяти сажен. Опытом: было уже установлено, что золотоносные жилы встречаются именно на этой глубине, и когда отрядные рабочие отыскивали жилу, компания ставила свои работы. Таким образом, самая дорогая и рискованная часть промыслового дела — разведки — производилась даром. Тарас взял заброшенную делянку, с готовой шахтой-дудкой, которая была оставлена, как пустая, на шестой сажени. Какой-то отрядный рабочий выбился из последних сил на половине работы и умер от натуги. Вахрушка, болтавшийся по промыслам, разведал как-то, что

именно в этой делянке есть хорошие знаки, и, потихоньку ото всех, недели две ковырял в дудке, пока не напал на кварцевую жилу. Тогда только оставалось оформить дело, то есть взять делянку от компании со всеми канцелярскими церемониями.

В проваленную избушку Тараса Пиканникова заглянул настоящий золотой луч, ожививший разом все. На радостях Тарас прежде всего поставил в своей избушке громадные новые ворота и даже выкрасил их. Появился ведерный самовар, у снохи — кумачные платки на голове, у старухи Акулины — новенький ситцевый сарафан, у Вахрушки — плисовые шаровары, и только одна Окся, наученная горьким опытом, отказалась от всякой обновки.

— Совсем глупая девка! — решили соседи в окончательной форме.

Тарас Пиканников сделался героем промыслового дня. Любопытные приходили с другого конца селения, чтобы посмотреть новые ворота, а разная деревенская родня лезла прямо в избу. На радостях Тарас уже совсем развернулся и купил у цыгана лошадь, хотя

ездить ему было некуда. Потом явился новый овчинный полушубок, мешок крупчатки, гармония у Вахрушки, а водка не сходила со стола. Проворный целовальник Пятачок до того вверился Тарасу, что отпускал водку четвертями прямо в долг.

— Эк, распыхался как Тарас! — завидовали все дурацкому счастью.

Более проницательные прибавляли:

— Ничего, скоро откантует... Не велика жилка, а подойдет девятая сажень — и шабаш.

Но и здесь Тарас оказался хитрее других. Он не накинулся на свое золото, а добывал его сколько нужно. Отправится всей семьей к дудке, поработает до полуден — и кончено. Когда добытое золото проедалось, опять выходили на работу.

— Оно вернее, когда в земле золото мое лежит, — объяснил Тарас.

Делянка Тараса от Ельников была верстах в двух, и любопытные нарочно ходили туда, чтобы посмотреть, как шваль добывает свое золото. Дудка — это круглая дыра аршина полтора в диаметре. Преимущество ее перед

обыкновенной квадратной шахтой в том, что не нужно крепить стенок. Положим, что работать в такой дудке крайне опасно, и горный устав строго запрещает такие работы, но всякому закону по нужде бывает «пременение». В дудке работала, конечно, Окся, потому что это была самая трудная часть предприятия. Вахрушка управлялся наверху, «выхаживая» на воротке из дудки разную породу. Сноха на тачке отвозила пустую землю иод горку.

— Да не дура ли эта Окся? — дивились еще раз все, заглядывая в дудку, — Задавит ее землей... Бабье ли это дело в забое робить?

Тарас обыкновенно приезжал к дудке верхом и, не слезая с лошади, распоряжался, как главнокомандующий.

— Нет, вы вот что, — объяснял он своим завистникам: — как она, Окся-то, там поворачивается... на восьмой сажени... Ведь это помереть надо, а она изворачивается.

Когда жилки добывалось достаточно, Тарас подходил к дудке и кричал:

— Шабаш, Окся!..

Отец и сын, впрочем, жаловались, что уж очень тяжело поднимать эту Оксю из дудки:

прицепится к веревке и точно чугунная. Оксю вытаскивали из дудки всю покрытую красной приисковой глиной и мокрую по колена, но она не жаловалась на свою работу и, по обыкновению, молчала, как пень.

III

Отрядные работы, как и компанейские, были обставлены сплошным воровством. Причина заключалась в том, что рабочим платили за добытое золото «любую половину» его номинальной стоимости, а то и меньше. Если отрядный рабочий попадал на очень большую жилу, компания платила ему все меньше и меньше, по мере увеличения добычи. Понятно, что это вызывало утаивание добытого металла и тайную продажу его скупщикам. В Ельниках образовалось что-то вроде воровской биржи, с понижениями и повышениями. Кабатчик Пятачок являлся главным посредником и всегда выходил сух из воды.

Пока золото шло хорошо, Тарас не нуждался в сбыте его на сторону. Пятачок одобрял придуманную Тарасом систему не вырабатывать всей жилки зараз.

— Все равно деньги пропьете, — уговари-

вал он Тараса. — Успеете. Помаленьку-то года два пьяны будете, а зараз-то и на полгода не хватит.

— Обыкновенно, где хватит, — соглашался Тарас. — Известно, какая наша жисть. Вот лошадь завел, ворота поставили. Как же, нельзя, надо все, как у добрых людей.

— Ты избу-то выправляй, Тарас.

— Изба от нас не уйдет.

Так шло дело целую зиму. Тарас совсем опух от водки и начал даже заговариваться — «играли хмельники». Теперь он сам не ездил на свою дудку, а возила его жена в новеньких пошевнях. Подъедет Тарас к работе, вылезет из саней и подойдет.

— Окся, ты тут? — крикнет он в дудку.

— Здесь, тятенька, — из-под земли донесется знакомый голос.

— Идет жилка?

— Идет, тятенька.

— Ну, старайся, милая.

Иногда на Тараса нападало что-то вроде сомнения: зачем они, в самом-то деле, морят в забое девку? В кабаке проходу не дают Оксиной работой. Тарас пробовал даже принимать

энергичные меры и накидывался на Вахрушку.

— Ты чего, лодырь, у воротка торчишь? — ругался Тарас. — Полезай в дудку!

— Полезай сам, коли охота, — грубил Вахрушка.

— Да ведь мы измаем Оксю-то! Не ровен час, еще придавит землей. Кто ее знает, как она там копается.

— Коли она дура, так я не виноват тому делу.

Однажды под пьяную руку Тарас даже подрался с Вахрушкой, но толку из этого все-таки не вышло. Окся продолжала оставаться в забое и работала там до тех пор, пока сверху ей не крикнут: «Шабаш, Окся!». Она даже позеленела от подземной работы и начала кашлять.

— Вы бы хоть работника прихватили, — советовали жалостные бабы-соседки. — Измывается девка на вашем золоте.

— Работник, — удивлялся Тарас. — А Вахрушка на что? Слава богу, свой работник в дому. Да я и сам, ежели касаемо што, так могу вполне соответствовать... Сам в забой пойду.

— Так и пошел! — корили бабенки. — Один у вас, у мужичков, забой: в кабаке у Пятачка проклажаться.

К весне Тарас стал замечать, что жила «изубожилась». Кварц все самый форменный, а золота прежнего не стало. Конечно, виновата глупая Окся, которая непременно упустила настоящую линию и работает в дудке черт знает как. Тарас даже решился сам спуститься и прополз по узкой норе до того места где, лежа на животе, работала Окся.

— Куда ты, дура, золото наше девала? — ругался Тарас, толкая Оксю кайлом в бок, — Понадейся на чужую работу.

— Девятая сажень, тятенька, подходит.

— Молчи, дура. Не твоего ума дело.

Золота стало попадать все меньше, а потом Вахрушка совсем замотался: пирует в кабаке и на работу нейдет. Пришлось Тарасу самому стать к вороту и «выхаживать» деревянную бадью с землей. Работа хоть и не тяжелая, но после целого года безделья она казалась Тарасу очень горькой. Хорошо еще, что Пятачок научил: половину золота сдавай в контору, а другую половину скупщикам —

вот опять и будет та же цена. Не хотелось Тарасу вожжаться со скупщиками, но делать нечего. Старуха Акулина, и та ворчит, что денег стали мало приносить домой.

Ввиду таких стесненных обстоятельств Тарас решился поставить хоть новую избу, а то и в самом деле безо всего останешься. Сказано — сделано. Ворота уже есть. Заказал Тарас бревен мужикам, а сам принялся разворачивать свою избушку. Окся по-прежнему работала в забое, а у ворота стояла жена Вахрушки. Тарас, под предлогом постройки, являлся на дудку только поругаться с бабами. Раз, когда он приехал верхом на работу, сноха сидела без всякого дела.

— Ты это што лодырничаешь? — обругался Тарас.

— Да чего мне делать-то, коли Окси нет...

— Как нет?

— Да так... Видно, домой пошла, а я вот и сижу одна.

— Врешь что-нибудь...

Наклонившись к дудке, Тарас крикнул:

— Окся, куда ты запропастилась?.. Эй, Окся...

Ответа не последовало.

— Спит, видно, подлая… — решил Тарас. — На этих баб только надейся!

Он спустился в дудку, чтобы отлупить Оксю на все корки, но там никого не было, дудка стояла пустая.

— Ну и дура же! — удивлялся Тарас, вылезая на свет божий.

Окси и след простыл, точно она в воду канула. Пока Тарас ее разыскивал, какой-то штегерь успел донести, что дудка уже на девятой сажени и пора ставить компанейские работы. Таким образом Тарас разом лишился всего: ни дудки, ни Окси, ни избушки. Оставался один кабак Пятачка.

— Куда Оксю-то дели, анафемы? — приставал целовальник, не отпускавший теперь в долг ни на грош.

— Отстань…

Но раз Пятачок расщедрился и сам предложил Тарасу стаканчик, — счет шел под новые ворота.

— Поздравить тебя надо, Тарас, — ухмылялся Пятачок.

— С чем это?

— Окся-то закон приняла...

— Н-но-о?..

— Верно тебе говорю... В Карягиной и свадьба была. Форменное приданое себе справила да еще деньгами рублев сорок принесла. Этак-то хошь кто женится... Я бы женился, кабы знал.

— А где она деньги-то взяла, дура?

— А в ноздре, говорит, все из дудки носила... ну, и натаскала. Вот тебе и глупая Окся!..

Таинственный незнакомец

(Очерк)

I

Откуда он явился на Симские промыслы, так и осталось неизвестным... А всякая неизвестность пугает, как пугала она и обитателей знаменитых золотых приисков. Ясно было одно, именно то, что он бессовестный и нахальный человек. Достаточно было взглянуть на это круглое, румяное лицо с выкаченными серыми глазами, на вечную улыбку жирных, чувственных губ, на легкую лысину, говорившую о бурной молодости, на подкра-

шенные усы, вытянутые шильцем, на эти перстни и булавки, которые блестели самым подозрительным образом, — словом, все в нем располагало к недоверию, и сам он являлся диссонирующей нотой в сложившейся мелодии приисковой жизни. Даже это русское имя — Иван Семеныч Михайлов, — и в нем звучала какая-то скрытая фальшь и заставляла приисковых скептиков многозначительно качать головой.

— Пусть я издохну шестнадцать раз с разом, — говорил старик Чиков, — если этот Михайлов не оборотень... Разве такие Михайловы бывают?.. Нет, голубчик, не на таковских напал... Какой-нибудь Попандопуло, Кацман, Пшицкий, а тут — Михайлов, шалишь, брат... И в ведомостях давно печатают вот про этаких-то Михайловых: один банк обокрал, другой богатую старушку зарезал, третий... все Михайлов! Нет, брат, дудки...

Худощавое, морщинистое лицо Чикова краснело от волнения, и он начинал рубить воздух руками. Слушатели безмолвно соглашались с опытным человеком, перебирая в уме бесстыжие глаза незнакомца, его усы

шильцем, нахальную улыбку, фальшивые брильянты и вообще весь фальшивый вид. Ведь Чиков жил на промыслах лет двадцать, со дня их открытия, потом Чиков читал всякие «ведомости», как в глуши называют газеты, наконец, сам он был тоже из проходимцев, с очень сомнительным прошлым, — такие люди не ошибаются. Нужно сказать, что золотопромышленники не обязаны быть праведниками, и общественное мнение здесь не отличалось особенной придирчивостью. Да и какая публика набралась на Симских промыслах: выгнанный со службы по третьему пункту исправник Касаткин, сомнительный доктор богословия Скотт, еще более сомнительный полковник Охапенко, купеческий брат Лучших и т. д.

Может показаться странным, что представители такого «смешанного общества» отнеслись с таким недоверием к таинственному незнакомцу Михайлову, но здесь мы наталкиваемся только лишний раз на старую, как наш грешный мир, истину, что в других каждый подозревает и ненавидит свои личные недостатки и пороки. Впрочем, было одно об-

стоятельство, которое, так сказать, давало таинственному незнакомцу права гражданства на Симских промыслах, — это артистическое уменье сдавать карты... Раньше безусловное преимущество в этом отношении принадлежало Касаткину, который из любви к искусству проиграл даже казенные деньги, но он, уволенный по третьему пункту исправник Касаткин, оказался пред таинственным незнакомцем просто мальчишкой и щенком. Именно за карточным столом незнакомец являлся совсем другим человеком и даже как будто стыдился проявлять свое превосходство в полном объеме, а присущие ему фальшь и нахальство переходили в девичью скромность. Это обстоятельство положительно смущало всю почтенную компанию, и даже чувствовалось некоторое колебание: сила — везде сила. Может быть, именно поэтому Чиков особенно и нападал на незнакомца, чтобы предупредить всякую возможность реакции.

— Нет, вы посмотрите, какие у него руки, — задумчиво говорил Охапенко — белые, нежные, как у женщины. И какие мягкие... А когда он сдает, карты сами летят. Ей-богу!..

— Шулер! — спорил Чиков. — А то просто фокусник с ярмарки.

— А как вы находите розовую жемчужину у него в галстуке? Если бы фокусники имели средства на такую роскошь, то и я пошел бы в фокусники...

Руки у незнакомца действительно были замечательные: длинные, белые, с прекрасными розовыми ногтями, — так что Капитолина Марковна, сожительница Скотта и единственная дама на промыслах, начала уверять всех, что этот Михайлов, наверно, акушер. Ведь сама Капитолина Марковна целых два года пробыла на фельдшерских курсах и отлично знала, какие руки у акушеров.

— Ну, уж вы, Капитолина Марковна, кажется, того... — заметил Чиков, не ожидавший такого оборота. — Конечно, есть и акушеры Михайловы, да только у нас-то не родильный дом, сударыня. А руки, действительно... Уродится же этакий человек, подумаешь!..

II

А фальшивый человек, видимо, не хотел обращать никакого внимания на обществен-

ное мнение Симских промыслов; мало того, он обнаружил несомненные признаки основаться здесь попрочнее. Был куплен дом, привезли откуда-то дорогую мебель, и даже появился рояль. Это был первый рояль на Симских промыслах, и этого было достаточно для новых толков и всевозможных предположений. Для чего Михайлову рояль? Если есть рояль, то должен быть и тот, кто играет на нем. Конечно, Михайлов отлично сдавал карты, и руки у него были, как у акушера, но это еще не значило, что он сам будет играть на рояле. В тумане этих предположений промелькнула сама собой тень неизвестной женщины. Да, именно женщины, которая не сегодня — завтра должна была явиться на промысла. Это было верно, как то, что завтра взойдет солнце.

— Какая-нибудь арфистка... — решила Капитолина Марковна.

Полковник Охапенко задумчиво покручивал усы и повторял про себя: «Мы знаем, что такое за штука фортепьяно... да». У бывшего исправника Касаткина, когда говорили о женщинах, являлось какое-то особенно вороватое

выражение в глазах, и только один доктор богословия Скотт оставался равнодушным, потому что он совершенно растворялся в одной своей Капитолине Марковне. Как единственная женщина на промыслах, эта последняя приняла загадочно-оборонительный вид: до сих пор она не знала соперниц, а тут вдруг целый рояль на голову свалился... Нужно заметить, что этот рояль являлся для Капитолины Марковны чем-то вроде личного оскорбления, потому что сама она ни на какой «музыке» не играла и вперед испытывала чувство самой жгучей зависти к неведомой сопернице.

— Какая-нибудь мерзавка... — повторяла она. — Посмотрим!..

Но мы еще ничего не сказали о самих промыслах, которые занимали довольно обширную площадь в отрогах Южного Урала, по берегам горной речки Сима. Золотое дело здесь утвердилось давно и постоянно привлекало к себе предпринимателей. Слава Симских промыслов то поднималась, то падала. Одни разорялись, другие богатели, третьи оставались загадочным неизвестным — этих по-

следних было больше. Чем они существовали, зачем толклись на промыслах и на что рассчитывали — все это являлось загадкой и для них. Главными двигателями служили привычка к бродяжничеству и какая-то необъяснимая надежда на то, что вот — погодите немного — дела поправятся и тогда... Что будет «тогда», было ясно для всех. Богатство заслоняет всякое прошлое, и каждый из теперешних промышленников с благородным негодованием отвернулся бы от своих вчерашних друзей. Около золота вертелись все помыслы и желания, — ведь оно было тут, под ногами, и только недоставало счастливого случая, чтобы его взять. Главное — счастье... А пока не было своего золота, симские золотопромышленники скупали чужое, которое воровали рабочие на других приисках, и на этом поприще пользовались довольно громкой популярностью.

По наружному виду, как все прииски, Симские промыслы решительно ничего внушительного собою не представляли; несколько заброшенных шахт, отвалы пустой породы и промытых песков, в двух местах деревянные

бараки над новыми шахтами, пробные ямы и канавы не могли служить особенно удачным материалом для картины. Собственно «жительство» сгруппировалось на мысу, где стояли дома главных золотопромышленников, казармы для рабочих и лепились старательские балаганы. Кругом расстилалась степь, уходившая волнистой линией из глаз, и только на западе синевато-серой глыбой грузно лежала гора Самородка.

Дом, в котором поселился таинственный незнакомец, стоял особняком. Он был построен разорившимся золотопромышленником Тузовым и пустовал лет десять. Теперь он сразу ожил: поправляли крышу, выводили стеклянную галерею и даже разбивали по плану небольшой садик. Вообще предвиделось что-то необычайное, тем более, что Михайлов готовился возобновить шахту № 6, на которой уже разорилось четверо. Это было безумием. Общую сенсацию увеличило еще то, что на промыслы привезли паровую машину. Это был он же, таинственный незнакомец, который хотел повести дело по-новому, в больших размерах.

— Вылетит в трубу, — решили единогласно все, хотя в то же время общая подозрительность усилилась. — Кто старые шахты подымает? Да лучше десять новых пробить... Кажется, дело известное.

Если Капитолина Марковна была лично обижена роялем, то остальные еще более задеты были паровой машиной: что, они разве глупее его, Михайлова?.. Паровых машин не выкупишь, а у них дело старинное, кондовое...

Сам Михайлов по-прежнему оставался загадкой: свежий, вежливый, веселый, точно он вернулся из какого-то далекого путешествия к себе домой. По вечерам он завертывал то к тому, то к другому, а потом пригласил к себе, причем особенно настаивал на согласии Капитолины Марковны и, когда та после некоторого ломания изъявила свое согласие, поцеловал у ней руку.

— Скажу вам по секрету, Капитолина Марковна, что я жду одну особу... — с очаровательной интимностью заметил он, слегка прищуривая один глаз. — Впрочем, вы сами увидите. А пока я на биваках...

Эта откровенность обезоружила Капитолину Марковну, точно она сделалась сообщницей таинственного незнакомца и сразу встала на его сторону. В самом деле, ведь он открыл свою душу не кому-нибудь другому, а именно ей: дело, очевидно, шло о таинственной женщине, которая имела появиться на промыслах.

Осмотр квартиры нового золотопромышленника произвел на всех сильное впечатление: обстановка для промыслов была совсем роскошная, так что рояль совсем терялся среди других вещей. Исправник Касаткин сделал всего одно замечание: именно, что одна комната оставалась запертой, а в ней-то и заключался весь секрет.

— Это доказывает только, что он порядочный человек, — таинственно заметила Капитолина Марковна. — Семейный дом не казарма, чтобы показывать все и всем...

В общественном мнении незаметно появилась скрытая рознь — это все чувствовали. Прежнего единодушия уже не было, и полковник Охапенко, задумчиво покручивая усы, говорил: «А кто его знает, может быть, этот Ми-

хайлов и порядочный человек...» Полковник еще сам не верил этому, но уже желал верить, что возмущало неистового старика Чикова больше всего.

Однажды вечером, когда вся компания играла в карты у Капитолины Марковны, под окнами прозвенел почтовый колокольчик и грузно прокатился тяжелый экипаж.

— Это ко мне... — равнодушно заметил Михайлов, не оставляя карт.

Капитолина Марковна не утерпела и, закрывшись шалью, сама побежала посмотреть, кто приехал. Экипаж стоял у крыльца, а из него с трудом вылезал длинный молодой человек. Он, пошатываясь, остановился на одном месте, презрительно оглядел промысловую городьбу и даже свистнул.

— Это какое-то воронье гнездо, черт возьми... — заплетавшимся языком проговорил он, направляясь в дом. — А где папахен?..

«Бедняжка пьян, как сапожник...» — в ужасе думала Капитолина Марковна, стараясь спрятаться у забора.

Но молодой человек уже заметил ее, приободрился и, подмигнув, проговорил:

— Эй, вы, полудевица, у этиль мои пер?.. [348]

Капитолина Марковна, поступившись своим достоинством единственной промысловой дамы, бросилась бежать, как облитая водой горничная, а молодой человек весело хохотал ей вслед.

— Какая-то дура... — бормотал он, около стенки пробираясь в дом.

Когда Капитолина Марковна перевела дух, ей вдруг сделалось жаль таинственного незнакомца. Она с женским инстинктом поставила себя на место этого папахена и нарисовала бойкую картину родственной встречи. Это чисто женское чувство еще больше сблизило ее с ним, и Капитолина Марковна считала себя до известной степени посвященной в грустную семейную тайну, а такие вещи налагают свои обязанности. Когда она вернулась в комнату, Михайлов пытливо посмотрел на нее и едва заметно пожал плечами. О, они отлично понимали друг друга без слов!

Когда партия кончилась, Михайлов подошел к ней и спросил:

— Видели?

— Да...

Он немного театральным жестом, как это делают на сцене благородные отцы, прижал надушенный платок к глазам и отвернулся, чтобы «скрыть слезу», как объяснила это движение Капитолина Марковна. — пришел точно в свой сундук. «Все сидели, разговаривали, а потом как-то так, само собой...»

III

Однажды Михайлов выходил от Чикова поздно вечером. Старик провожал его на крыльцо и, когда таинственный незнакомец скрылся, схватил себя за волосы.

Дурак... старый дурак!.. — стонал он от бессильной ярости.

Не он ли, Чиков, ругал Михайлова по всем промыслам, а теперь... Нет, это сон, дьявольское наваждение... Чтобы проверить себя, старик еще раз при огне пробежал только что написанный вексель: «Я, купеческий брат Иван Семенов Михайлов, повинен по сему векселю заплатить купцу первой гильдии Антону Евграфычу Чикову или кому он прикажет десять тысяч рублей... Деньги сполна получил». Десять тысяч!.. Нет, это ужасно... Где

же были у него глаза? Самый подозрительный человек, и вдруг вырвал целый капитал, да еще как вырвал: пришел точно в свой сундук. «Все сидели, разговаривали, а потом как-то так, само собой...»

Чиков не спал целую ночь и рано утром побежал к Скотту, который копался в своем садике. Капитолина Марковна вставала поздно, и доктор богословия пользовался в эти немногие часы полной свободой. Старик едва добрался до скоттовского садика, оперся грудью на загородку и, указывая рукой на квартиру Михайлова, проговорил всего одно слово:

— Разбойник...

Скотт не повернул даже лица, продолжая копаться в свежей грядке. Это был невозмутимейший немец, каких только производил свет в прежние времена. Его безучастие несколько расхолодило Чикова.

— Ему нож в руки да на большую дорогу...

— Зачем?.. — отозвался Скотт, поднимая наконец свои белые глаза на Чикова. — Он у меня тоже взял деньги, и я считаю его порядочным человеком. Капитолина Марковна

тоже...

— А много денег?

— Да все, какие были... Ему очень нужны деньги.

Чиков вдруг захохотал. Чужие глупости хотя и не делают нас умнее, но служат иногда прекрасным утешением. О своей ошибке старик, конечно, ничего не сказал, а сейчас же полетел в город, чтобы навести о Михайлове необходимые справки. До города было с лишком четыреста верст, но все равно: нужно было съездить по другим делам. Вернулся из города Чиков темнее ночи и сейчас же побежал к Скотту, который опять копался в своем садике.

— Поздравляю вас: Михайлов — шулер и жулик! — кричал старик, размахивая руками. — Что, хорошо?

— Капитолина Марковна уверена... наконец, есть вексель... — бормотал доктор богословия.

— У меня тоже вексель, да черт ли в нем?!

— Так и вы давали ему денег?..

— Я?.. Нет... это так... случайно попался его вексель. Ну, я навел справки. Мошенник...

— О-о!.. неужели?..

— И вы ничего с него не получите... да!..

— Капитолина Марковна...

— Послушайте, Скотт, вы ничего не говорите про наши векселя... понимаете? Пожалуй, еще просмеют... А я сгонял в город и посоветовался с адвокатами: дело верное, и только не нужно пропускать срока. Понимаете?.. Как выйдет срок, мы этого подлеца и накроем... Денег у него, конечно, нет, а все-таки дом, паровая машина, фортупьяны, золотые часы — мало ли что наберется по домашности. С паршивой собаки хоть шерсти клок...

— О, я согласен!..

— А в это время пусть он оберет других: Охапенко, Касаткина, Чистых... Так я говорю? А то один срам.

— Гросс-скандал...

— Главное, молчите.

— О, я умею молчать!

Этот маленький заговор серьезных последствий иметь не мог по той простой причине, что у остальных золотопромышленников, взятых вместе, была дыра в горсти. Но это не помешало Касаткину ответить вполне га-

лантно:

— В самом непродолжительном времени, Иван Семенович, я надеюсь ссудить вас кругленькой суммой, а теперь, по французской поговорке, я, как самая красивая девушка, не могу дать больше того, что сам имею...

— Благодарю вас... Мы отлично понимаем друг друга, — отвечал Михайлов, пожимая обе руки будущего миллионера. — У меня предвидятся тоже большие получения в самом непродолжительном времени, и вы позволите мне предложить вам мои услуги... Услуга за услугу, не правда ли?..

Паровая машина весело попыхивала клубами белого пара; из шахты № 6 бойко лилась откачиваемая вода, строилась новая казарма для рабочих, подвозились бревна, крепи и чурки — одним словом, работа кипела. Сам Михайлов занят был дома своими сметами, счетами, планами и корреспонденциями, а на месте действия похаживал в щегольских лакированных ботфортах его сын Левушка, тот самый молодой человек, который явился на промыслы в таком веселом настроении. Он быстро освоился со всей приисковой обста-

новкой и старался придать своему испитому лицу деловое выражение. Это не мешало ему каждый день к вечеру напиваться самым: исправным образом, а для развлечения Левушка разъезжал по приискам на сивом иноходце и не пропускал мимо ни одной толстой крестьянской девки. Касаткин был от него в восторге: Левушка бывал в Париже, Вене, Флоренции и сыпал такими анекдотами, от которых покраснели бы его сапоги, если бы и у них были уши.

— Я скоро уеду в Берлин, — сообщал Левушка своему другу с ребячьей болтливостью. — У папахен с Берлином: большие дела... Да, вот город: какой-то знаменитый путешественник сказал, что статуя Германии на памятнике победы — единственная честная девушка в Берлине. Не махнуть ли нам туда вдвоем?..

— Погодите немного, Левушка: я покажу всем, что такое Касаткин... да. Но я предпочитаю уехать в Париж... И французскую грамматику уж приобрел, а там: увидим.

— Да ведь в Париж дорога через Берлин!

Слухи о таинственном незнакомце шли со

всех сторон все хуже и хуже: оказалась и обобранная старушка, и бронзовые векселя, и какая-то темная история со второй женой, найденной на квартире с перерезанным горлом, и еще более темная история в одном из столичных клубов, причем сильно пострадала наружность самого героя, и т. д. Эти известия проникали на Симские промыслы никому неведомыми путями, приводя всех в ужас, точно к ним проникла зараза вроде чумы. А главное — теперь всем было ясно, зачем таинственный незнакомец появился на Симских промыслах: выгнанный отовсюду, он хотел здесь поправить свои дела скупкой краденого золота. Конечно, скупали его и другие, но здесь чувствовалось что-то уж очень смелое и грандиозное, и одно появление Михайлова в обществе заставляло всех умолкать, переглядываться и кашлять в руку.

— Необходимо принять меры... — повторял Охапенко, сдвигая брови, как старый кот. — Он нас погубит.

Все были согласны относительно такого оборонительного положения, и только отмалчивался один Чиков: старик только ухмылял-

ся себе в бороду. Вексель Михайлова лежал у него в кармане, и каждый новый день приближал неудержимо к роковой развязке: посмотрим тогда, что будет с шахтой и паровой машиной, и с фортепьяно, и с фальшивыми брильянтами. Дело было верное, и вывернуться из него не представлялось ни малейшей возможности. А Михайлов все занимал и занимал деньги и сорил ими, как только умеют сорить люди, привыкшие жить на чужой счет.

Лето перевалило на другую половину, трава начала желтеть, и близилась осень с ее грязью, дождем и длинными темными вечерами. Что-то тогда будет делать таинственный незнакомец?.. О последнем часто задумывалась Капитолина Марковна, вообще большая охотница до чужих дел. В самом деле, что тогда будет?.. Теперь она уже не боялась стоявшего безмолвно рояля: пусть его стоит, как стоит много никому не нужных вещей. Таинственный незнакомец мог поставить в свою квартиру митральезу, и Капитолине Марковне было бы все равно: она помирилась вперед со всеми причудами Михайло-

ва. Раз только пьяный Левушка попробовал было открыть рояль и фальшиво заиграл на нем что-то среднее между шансонеткой и страусовским вальсом, но в это время в комнату вошел Иван Семеныч, молча закрыл рояль и так же молча спрятал ключ от него к себе в карман. Единственным свидетелем этой немой сцены был исправник Касаткин, но он ничего не мог объяснить, потому что был пьян, как сорок сапожников вместе.

IV

А дела таинственного незнакомца были плохи, настолько плохи, что всякий другой порядочный человек на его месте по крайней бы мере повесился. Шахта ничего, кроме убытков, не давала, Левушка пьянствовал, кредита tie было, и недавние партнеры бежали от него, как от чумы. Где было можно занять или выиграть в карты — было занято, выиграно и прожито. Чтобы поправить свои дела, Иван Семеныч отправлялся время от времени в таинственные экскурсии и возвращался с деньгами. Правда, *он* несколько времени был болен после каждого такого путешествия, а раз даже вернулся с завязанным

глазом, но все это было ненастоящее, как и сам таинственный незнакомец. По наведенным справкам оказалось, что он ездил в город, где в одном картежном притоне разыгрывал роль приискового набоба и, кстати, успел обыграть двух местных адвокатов, загулявшего сибирского купчика и старого самодура.

Покупка краденного с чужих приисков золота шла своим чередом, но на это никто на Симских промыслах не обращал внимания, как на самое заурядное дело: все этим занимались, следовательно, отчего было не заниматься и Михайлову. На всех промыслах повторялась одна и та же история, а таинственный незнакомец вел свои дела так ловко и тонко, что даже его заклятые враги должны были платить ему известную дань уважения, как умному и оборотистому человеку. Что ж, дело житейское, а умному человеку и бог велел приобретать...

Но этого было мало. Осенью, когда летние работы уже прекращались, Симские промыслы были подняты на ноги неслыханной вестью. Дело в том, что Иван Семеныч разведал

какими-то путями все плутни симских золотопромышленников относительно аренды промыслов, владенных записей и разных крепостных актов на землю под фирмой обыгранных им двух адвокатов и предъявлял к ним громадный гражданский иск. Этого хода никто не ожидал от таинственного незнакомца. В лучшем случае всем грозило полное разорение. До сих пор как-то никто даже и не думал о незаконности существующего порядка, а тут вдруг выплыла на свет божий целая серия гражданских правонарушений. Всего обиднее в этом: деле было то, что в нем оказалась замешанной Капитолина Марковна. Да, в этом последнем никто больше не сомневался, потому что исправник Касаткин своими глазами видел на руке Левушки кольцо Капитолины Марковны с редкой восточной бирюзой. Если такая измена была открыта в своем собственном: лагере, то чего же было ждать от других...

— Она нас погубила! — кричал Чиков, рвавший на себе волосы. — И нашла человека: пьяный Левка соблазнил... Баба она, баба и будет. Всех продала...

— Мало ее повесить, — вторил Касаткин.

Безмолвствовал один Охапенко, относившийся ко всем женщинам как к межеумкам, да молчал сам доктор богословия Скотт, потому что он в качестве гражданского мужа должен был узнать горькую истину все-таки последним. Впрочем, его молчание объяснилось одним обстоятельством, про которое еще никто не знал: Иван Семеныч выдвинул против симских золотопромышленников противной стороной барона фон Флигель, его соотечественника и старого знакомого. Михайлов действовал не от своего имени, и его, доктора богословия, могли заподозрить в сообщничестве — это по меньшей мере. Сам по себе барон фон Флигель являлся полной ничтожностью и принадлежал к категории тех скорых на руку остзейских баронов, которых ссылают в Сибирь за убийство кучеров, садовников и нарушителей баронских прав. Фон Флигель тоже в кого-то стрелял и был послан прохладиться за Урал. Михайлов выдвинул его как мишень и очень ловко создавал крупное дело под прикрытием широкой баронской спины. Даже заподозренная в измене Капитолина

Марковна ничего не подозревала, занятая чисто женской идеей спасти погибавшего Левушку; конечно, Левушка пил ужасно, но он был совсем не злой человек и постоянно раскаивался в своем поведении. Кольцо она действительно подарила ему, но это не имело никакого дурного значения: кольцо было залогом того, что Левушка исправится. К толкам и пересудам своих приисковых друзей Капитолина Марковна относилась совершенно равнодушно: поговорят и перестанут.

Истина открылась, когда на прииски приехал сам барон фон Флигель и с ним оба адвоката. Михайлов устроил им княжескую встречу и держал себя настоящим хозяином всех промыслов, что привело в смятение остальных симских золотопромышленников. Гости что-то меряли, ставили какие-то таинственные межевые знаки и вообще имели самый деловой вид, как люди, явившиеся исполнить печальную, но неизбежную операцию.

— Что же это будет? — с ужасом спрашивали друг друга застигнутые врасплох золотопромышленники. — Ведь это дневной грабеж.

Молчал теперь один Чиков. Старик знал,

что нужно делать. Срок векселю истекал, и, когда гости уехали, он отправился к Михайлову. «Посмотрим, как ты теперь вывернешься», — думал он дорогой, помахивая палкой, без которой не выходил из дому. До квартиры Михайлова было рукой подать, и, чтобы не обращать на себя внимания, старик отправился пешком. Когда он уже подошел к крыльцу, вылетевшие в форточку окна аккорды заставили его остановиться.

— Вот тебе раз, — пробормотал он.

Кто-то так бойко и весело играл на молчавшем до сих пор рояле, и это ничтожное обстоятельство смутило Чикова: в этом проклятом доме были вечные неожиданности. Сам Иван Семеныч никогда не играл, а Левушка прошел еще утром к Капитолине Марковне... Когда старик вошел в переднюю и кашлянул, из залы к нему навстречу вышла молодая белокурая девушка.

— Вам, вероятно, нужно папу? — приветливо спросила она. — Пожалуйте сюда, а он сейчас выйдет...

— Да я по делу, сударыня... — бормотал Чиков, пряча вексель в кулак. — Не беспокой-

тесь.

— Папа мне говорил, что ждет вас... Если не ошибаюсь, вы Антон Евграфович Чиков?

— Точно так, сударыня... А вы дочкой Ивану-то Семенычу приходитесь?

— Да... Приехала погостить к отцу.

Она была такая свежая и цветущая и смотрела таким счастливым, сияющим взглядом! Простенькое ситцевое платье сидело на ней как перчатка; пепельно-серые волосы, небрежно собранные на затылке, открывали точеную белую шею, а маленькие мягкие руки так тепло пожали заскорузлую воровскую лапу Чикова! Это была настоящая барышня, какой старик еще не видал. Он, как ястреб, уставился теперь на два брильянта, горевшие каплями утренней росы в маленьких розовых ушах молодой хозяйки.

— Вот так красота... — вслух подумал старик и сам испугался собственной смелости.

Красавица только улыбнулась, и Чиков почувствовал, что в комнате точно сделалось светлее от этой улыбки, а у него, в глубине его ястребиной души, поднялось еще небывалое и такое хорошее молодое чувство. Он плохо

помнил, как она его усаживала в гостиной на мягкий голубой диванчик, как щебетала и опять улыбалась. Так приветливо и хорошо улыбалась...

— На музыке-то сыграйте, сударыня, — просил Чиков, набираясь смелости. — А тятеньку мы подождем.

Она не заставила себя просить и непринужденно заняла свое место за роялем. Из-под розовых маленьких пальцев опять вырвались эти смелые, уносившие вдаль звуки, точно вся комната наполнилась невидимым роем веселых птиц. Чиков даже закрыл глаза от удовольствия и очнулся только тогда, когда Иван Семеныч положил ему свою руку на плечо и ласково проговорил:

— Оничка, будет... У нас есть серьезное дело с Антоном Евграфовичем. Иди и приготовь нам закусить.

Когда Чиков вышел на крыльцо, чтобы идти домой, он долго стоял на одном месте и задумчиво качал головой. Вслед ему призывно рвались те иге звуки — Оничка опять играла на рояле. Теперь Чиков уже не рвал на себе волос, как в первый раз, а как-то равнодушно

вынул из кармана переписанный вексель и махнул рукой. Вместо того, чтобы протестовать его, он переписал и еще прибавил пять тысяч. Вот так устроил штуку...

«Какое же это имя, Оничка... — думал он, надевая шапку. — Должно полагать, по-нашему выйдет Анисья... Так-с, Анисья Ивановна. Вот так фунт!..»

V

Положение золотопромышленников на Симских промыслах становилось все хуже. Не нужно было особенной проницательности, чтобы предвидеть развязку: им ничего не оставалось, как уходить с насиженного места. Иван Семеныч затянул их мертвой петлей. Поднятый им процесс в интересах еще более таинственного барона фон Флигель являлся последним звеном в цепи общих злоключений. Через какой-нибудь год Симские промыслы сделались неузнаваемы, и царившие здесь царьки сидели по своим домам, повесив носы.

— Уходить надо... — повторял полковник Охапенко.

Касаткин был с ним согласен, а остальные

молчали. Капитолина Марковна более не участвовала в этих советах, как лицо, скомпрометированное подозрительным сближением с Левушкой. Она относилась теперь ко всему совершенно равнодушно. Загадочнее всего было то, что у Ивана Семеныча деньги не переводились: шахта работала, приезжали какие-то гости, Оничка весело играла на рояле. Старик Чиков никуда больше не показывался и наглухо закрыл все окна, чтобы не слышать предательской музыки.

Когда общее натянутое положение достигло последней степени и оставалось только выбрать день позорного общего бегства, над Симскими приисками разразился необыкновенный случай: Левушка застрелился. Блудный сын захватил у отца какие-то деньги, прокутил их в городе и, вернувшись на промыслы с пустыми руками, застрелился. Его холодный труп нашли в сосновой роще, недалеко от шахты.

— Так и нужно!.. — вырвалось у врагов Ивана Семеныча.

Иван Семеныч горько оплакивал самоубийцу, еще сильнее плакала Оничка. Един-

ственной утешительницей их являлась Капитолина Марковна, которая теперь живмя жила в доме Михайлова. Левушка был единственным сыном и унес с собой все фамильные надежды. Озлобление симских золотопромышленников и их глухое злорадство делали это горе слишком одиноким, точно оно заперлось в четырех стенах.

— Левушка был такой добрый, — вздыхала Капитолина Марковна, сосредоточившая свою нежность на Оничке. — Его не умели ценить. Конечно, у него были свои недостатки, но стоило поддержать, уговорить — и ничего бы не было. Ах, столько злых людей на свете!

Любящая душа Капитолины Марковны окружила память блудного сына целым ореолом из непроявленных им достоинств. Иван Семеныч сильно горевал и все запирался в своем кабинете. Оничка ходила с заплаканными глазами и дала себе слово не прикасаться к роялю. Это семейное горе не находило только отклика в душе симских золотопромышленников, которые начали подымать головы. Иван Семеныч ничего не делал, и для них не все еще погибло. О, нужно ловить вре-

мя и столкнуть задумавшегося врага в первую яму!.. Так ему и нужно, этому проклятому таинственному незнакомцу. Пусть Капитолина Марковна оплакивает своего любовника, а они знают, что им делать.

Это шел уже третий год, как Михайлов поселился на промыслах. Стояло лето, самое горячее время. Заброшенные работы начали оживать. По вечерам у Касаткина происходили таинственные совещания, а Иван Семеныч все сидел в своем кабинете и не хотел ничего знать. Его видали только на могиле Левушки, куда он отправлялся каждый вечер. Но и это проявление отцовского горя нисколько не растрогало симских золотопромышленников, не веривших ни одному шагу таинственного незнакомца, точно можно было подделать самое горе, как подделывались карты, брильянты и векселя. Общая фальшь нарушалась только присутствием Онички, про которую трудно было сказать что-нибудь дурное.

— Да она не дочь ему, ей-богу, — серьезно уверял Касаткин с апломбом человека, привыкшего производить дознания. — Что угодно, но только не дочь.

— Ну, уж ты, кажется, того... — бормотал Охапенко. — Отчего же Ивану Семенычу не иметь дочери?

— Дочь, да не такую ему нужно.

Оничка обезоруживала своим трауром и плерезами. В память Левушки она теперь помогала бедным, ухаживала за больными и окружила себя чумазыми приисковыми ребятишками, которых начала учить грамоте. Она не боялась обходить самые крайние землянки, где в кротовых норах скрывалась отчаянная приисковая голь, и везде ее появление было лучом солнечного света. Единственное развлечение, какое позволяла себе девушка, — это прогулка верхом. Она ездила одна, и полковник Охапенко с удовольствием наблюдал за ней потихоньку, из-за косяка: хорошо ездила эта Оничка, черт возьми! Правда, и лошадь у ней была отличная, хорошей английской выездки, но и на хороших лошадях ездят скверно, а старый полковник знал цену этому искусству. Если бы не общее ожесточение против Ивана Семеныча, он показал бы, как нужно кавалеру ездить с такой амазонкой. Старик даже подтягивался и надувал грудь,

как старый петух.

— Гои, гоп, гоп! — повторял Охапенко, провожая глазами галопировавшую Оничку, и отбивал такт рукой. — Отлично, гоп! Превосходно...

Иван Семеныч тоже любовался потихоньку на дочь и делился своими восторгами с одной Капитолиной Марковной, сделавшейся своим человеком в его доме. Эта оригинальная и немножко эксцентричная по-приисковому дама очаровывала его своей преданностью и тем запасом нежности, какую она вносила с собой, — сказывалась вечно жаждавшая привязанности хорошая женская душа. Капитолина Марковна с глазу на глаз с Иваном Семенычем фамильярно называла Оничку «наша принцесса».

— И точно она мне родная дочь, — несколько раз повторяла Капитолина Марковна и тяжело вздыхала. — Ночью, и то о ней думаю, Иван Семеныч.

Разговоры об Оничке доставляли таинственному незнакомцу видимое удовольствие, и он раз даже поцеловал у Капитолины Марковны руку, что сильно смутило един-

ственную приисковую даму.

Осенью, когда наступили первые заморозки, Оничка каталась верхом каждый день и возвращалась домой такой розовой, сияющей здоровьем и всеми красками нетронутой молодости. Это было опьянение от избытка сил. Раз она вернулась особенно веселая. Глаза так и блестели, грудь поднималась высоко, а по лицу розовой тенью переливался румянец.

— Так немного осталось хороших дней, — с сожалением говорила Оничка, целуя Капитолину Марковну. — Нужно пользоваться временем... Наступит зима — и сиди в четырех стенах.

— Кожа сухая у вас, Оничка, — заметила Капитолина Марковна, ощупывая руки девушки. — И голова как будто горяча.

— Пустяки...

Оничка так весело засмеялась, что было бы глупостью думать о какой-нибудь болезни. Но к вечеру у ней открылся жар и легкая боль в горле. Капитолина Марковна не сочла нужным беспокоить Ивана Семеныча, надеясь обойтись домашними средствами. К утру у больной открылся бред, и в голове Капито-

лины Марковны мелькнула страшная мысль о дифтерите.

— Посылайте нарочного в город за лучшим доктором, — предупредила она Ивана Семеныча. — Помощь необходима самая энергичная.

Таинственный незнакомец смотрел на нее широко раскрытыми глазами и ничего не понимал: Оничка вчера каталась верхом, она такая была веселая целый вечер — какой же тут доктор? Какие-нибудь пустяки. Но мысль о возможности потерять Оничку навела на него столбняк. До сих пор он как-то никогда не думал об этом, и потом разве она, Оничка, может умереть?

— Я сама распоряжусь... — решила Капитолина Марковна.

Девушка лежала в своей комнате с закрытыми глазами. Когда вошел отец, она тяжело раскрыла веки и как-то равнодушно посмотрела на него. Таинственный незнакомец весь похолодел от этого взгляда: она не узнала его.

— Оничка...

Он хотел что-то сказать, обнять ее, своими поцелуями разогнать сгустившуюся над ми-

лой головкой тучу, но зашатался на месте и едва вышел из комнаты.

Остальное все происходило как в тумане. Оничка больше не вставала. Приехавший доктор осмотрел ее и покачал головой. Потом Капитолина Марковна что-то такое говорила ему... а дальше? В зале красным пламенем горели похоронные свечи, в переднем углу стоял белый шелковый гроб, а в нем лежала Оничка, скошенная дифтеритом в три дня. Чужие руки заставляли его закрывать ей глаза; эти же руки ставили его у гроба, когда шла похоронная служба, и, наконец, они же сунули ему заступ, чтобы бросить последнюю горсть земли в свежую могилу, отнявшую у него все. Он не плакал, не жаловался, не волновался, а смотрел кругом с удивлением постороннего человека, случайно попавшего на похоронную церемонию. Кругом него толпились знакомые лица его заклятых врагов: тут был и старик Чиков, и Касаткин, и Охапенко.

— Теперь все? — спросил Иван Семеныч, когда над могилой выросла свежая кучка земли.

— Пойдемте домой... — ласково шептал го-

лос Капитолины Марковны. — Нужно отдохнуть, Иван Семеныч.

«Домой... отдохнуть... да что такое отдохнуть?..» Иван Семеныч потер себе лоб и вздохнул. Около него была другая рука и тоже ласково, с женской нежностью старалась увести его. Обернувшись, Иван Семеныч узнал старика Чикова, а за ним стояли Охапенко и Касаткин. Недавние враги теперь старались не смотреть на Ивана Семеныча, как виноватые. Взглянув на них, Иван Семеныч что-то смутно припомнил и горько улыб-нулся: это сожаление врагов сделало еще глубже его собственное горе, и он глухо простонал: «Оничка... милая, дорогая Оничка!».

Они проводили его домой, где стараниями Капитолины Марковны устроен был поминальный обед. Эта тяжелая церемония смягчилась тем вниманием, каким все время был окружен таинственный незнакомец. Скотт распоряжался по хозяйству, как друг дома. Когда поданы были поминальные блины, Чиков отвернулся и потихоньку вытер слезы. Эх, не Оничке бы умирать, а ему, старику... Это движение не ускользнуло от Ивана Семеныча —

он нахмурился, оглядел своих гостей и еще в первый раз зарыдал. Крупные слезы катились по щекам и падали на тарелку, но он не закрывал лица, облегченный этим припадком.

— Иван Семеныч, бог с вами, — шептали голоса. — Все мы под богом ходим... Конечно, жить бы, радоваться Анисье Ивановне надо было, да только и там, видно, хороших людей тоже нужно.

На мгновение, всего на одно мгновение в этих людях проснулось то совестливое и хорошее чувство, которое делает человека человеком. Нераскаянные грешники, до краев преисполненные всякой неправдой, точно почувствовали невидимое присутствие чистой души, которая пронеслась над их головами, как дыхание весеннего ветра... А Иван Семеныч все рыдал и рыдал, неутешно и горько, как ребенок, просветленный своим отцовским горем. Старик Чиков тоже плакал, а другие смущенно кусали губы, стараясь удержаться.

— Неужели ей нужно было умереть, чтобы... чтобы... — шептал Иван Семеныч, тронутый этим сочувствием. — Нет, она не умер-

ла... Это вздор! Я не хочу... я не могу... Она здесь... я это чувствую.

Таинственный незнакомец остался на Симских приисках навсегда, прикованный к этому роковому месту дорогими для него могилами. Он так страдал и мучился, что его враги, желавшие ему всякого зла, теперь ухаживали за ним, как за ребенком. Из здорового, краснощекого мужчины в полгода он превратился в седого старика и едва ходил, опираясь на палку.

— Она здесь, она с нами... — повторял он, часто прислушиваясь к незаметному для других шороху.

Седьмая труба

(Эскиз)

Глава 1[349]

...На улице бушевала снежная метель. Ветер так и рвал, бросаясь из стороны в сторону, как сумасшедший. Сухой и рассыпчатый снег носило по улицам белым столбом. У пешеходов захватывало дух, и даже уличные фонари едва мерцали, точно самому огню делалось холодно. Зато как хорошо было теперь в старинном двухэтажном каменном доме Шелковниковых, который глядел на улицу ярко освещенными окнами. В высоких комнатах так тепло, и замерзавшая на улице голь смотрела в окна с завистью. Некоторые даже останавливались, чтобы хоть издали полюбоваться, как добрые люди живут на белом свете. Но окна нижнего этажа были завешены шелковыми драпировками, а верхние были высоко.

В угловой гостиной, богато омеблированной в стиле сороковых годов, собралась веселая компания. Молодые лица совсем уже не

гармонировали с тяжелой старинной мебелью из цельного красного дерева, старомодными низенькими драпировками и чахоточной бронзой стиля empire. На десертном столе, перед диваном, на тонкой высокой ножке стояла старинная лампа, — она давала так мало света, что углы комнаты терялись в темноте.

— Бабушка, миленькая, позволь нам подурачиться, ведь теперь святки! — упрашивала девушка лет двадцати с таким красивым и типичным лицом.

— Грешно, Клавдия, — строго отвечала сидевшая на диване старуха, одетая в косоклинный старинный сарафан. — Разве я мешаю вам: играйте во имолки[350], олово топите, гадайте, а столы вертеть грешно.

— Да мы немножко, бабушка... А мысли отгадывать можно, через влияние?..

— Клавдия...

— Ничего, бабушка: грех на нас взыщется, — решил молодой человек, шептавшийся с двумя горными инженерами. — Вот мы все грехи на горное ведомство запишем или на доктора...

— Мы согласны, Марфа Захаровна... — в голос повторили молодые люди, окружая старуху. — Клавдия Семеновна интересуется последним словом науки.

Дремавший в глубоком кресле лысый старик проснулся и присоединился к молодежи:

— Мамынька, в самом-то деле... нельзя же-с...

— А тебя кто спрашивает, Капитоша? — резко оборвала его старуха.

— Да мне все равно, мамынька... я так-с... гм...

Старик посмотрел кругом мутными глазами, откинул голову на спинку кресла и опять задремал. Это еще сильнее развеселило неугомонную молодежь: дядя Капитон боялся матери, хотя самому было уже под шестьдесят.

— Ну, господа, усаживайтесь, — командовал молодой человек. — Клавдия, садись вот к этому круглому столу... а вы, господа, составите цепь. Доктор, пожалуйста, руководите всем, и чтобы все серьезно.

— А Капитон Полиевктович не примет участия? — спрашивал доктор.

— Нет, у него руки трясутся...

— А... что? — спрашивал старик впросонках. — Мамынька, я тово...

— Бабушка, миленькая, не сердитесь... — ласкалась к старухе Клавдия. — Это так интересно... Вот сами увидите.

— Коли Полиевкт захотел, так уж разве сговоришь, — ворчала старуха, любовно поглядывая на красавицу-внучку. — Окружили вы меня совсем... Статочное ли это дело, чтобы столы вертеть?

Кругом небольшого столика молодежь образовала живую цепь. Клавдия попала между доктором и кудрявым горным инженером. Десять молодых рук соединились на лакированной поверхности небольшого столика с точеной ножкой. Лица были напряженно-серьезны, и все старались не смотреть друг на друга. А молодое, нетронутое веселье так и подымало всех: смешно сердилась бабушка, смешно похрапывал в кресле дядя Капитоша, и недоставало пустяков, чтобы это веселое настроение прорвалось дружным смехом. Всех серьезнее оставалась Клавдия, в красоте которой чувствовалось что-то такое болезненное, особенно в больших, темных глазах, опушен-

ных тяжелыми, бархатными ресницами. Она изредка посматривала на брата и строго складывала полные губы. Полиевкт Шелковников являлся последней отраслью вымиравшего богатого рода, и на нем покоились все надежды Марфы Захаровны. В нем, в этом внучке, она любила все свое прошлое и все будущее фамилии Шелковниковых. Вот и теперь она не умела ему отказать и с тайной грустью смотрела на красивую черноволосую голову, наклонившуюся над столом.

— Господа... начинается... — шептал неизвестный голос.

— Тсс!..

Деревянный круглый столик действительно сделал нетерпеливое движение и легонько стукнул деревянной ножкой. Молодые люди совсем замерли в ожидании дальнейших движений. Но в самый интересный момент, когда стол начал подниматься одним боком, в дверях появилась коровница Афимья с подойником в руках и полотенцем через плечо, отвесила по-раскольничьи низкий поклон и певуче проговорила:

— Матушка, Марфа Захаровна, благослови-

те коровушку подоить...

— Бог тебя благословит... — ответила Марфа Захаровна.

Эта маленькая сценка вызвала сдержанный смех, и стол перестал двигаться. Полиевкт вскочил и резко проговорил:

— Что это, бабушка, в самом интересном месте помешали... Ведь это же невозможно, наконец. Понадобилось какую-то глупую корову доить... Это... это черт знает, что такое!..

— Как ты сказал, миленький? — спросила тихо старуха. — С кем ты разговариваешь-то?

— Ну, бабушка, не сердись... миленькая... — уговаривала Клавдия. — Поля, а ты не груби бабушке. Не велика важность: сядем во второй раз, и только.

— А ты что за заступница выискалась? — оборвала ее старуха, — У него свой язык есть... Как он разговаривает-то с бабушкой?..

— А... что?.. Я ничего, мамынька... — бормотал проснувшийся Капитоша и с удивлением посмотрел на всех своими мутными глазами.

— Делайте, как знаете... — решила Марфа Захаровна и принялась за свое вязанье.

Наступила неловкая пауза, а потом Полиевкт сказал, не обращаясь ни к кому:

— Все равно теперь ничего не выйдет со столом... Господа, лучше займемтесь внушением мыслей. Доктор, вы будете делать внушения, а Клавдии давно хотелось испытать на себе это состояние гипнотизирования...

Он все это проговорил уверенным, немножко задорным тоном, чтобы отплатить бабушке за проклятую коровницу, которая всегда при гостях заявится в гостиную и только срамит. Положим, свои люди привыкли к таким допотопным порядкам, а вот как образованные люди подумают про них... Вместо стола вот тебе, бабушка, угадывание мыслей, да еще пусть Клавдия первая подвергнется испытанию.

— Вы согласны, Клавдия Семеновна? — изысканно-вежливо спрашивал доктор, поправляя пенсне. — За полный успех первого опыта я не ручаюсь, но нужно пройти целую школу таких внушений...

— Да, я согласна... — твердо выговорила девушка и сама испугалась собственной смелости: и достанется же ей от бабушки, когда го-

сти разойдутся!

Марфа Захаровна сделала вид, что ничего не слышит, и наклонилась над вязаньем. Спорить с Полиевктом было бесполезно, и запретить прямо тоже нельзя: убежит из дому, только его и видел. А Клавдия-то, тихоня-то, хороша?.. Так и отрезала, как ножом. «Будешь ты у меня сегодня на поклонах в моленной стоять!» — сердито думала старуха, довольная, что могла сорвать сердце на внучке.

— Что мы загадаем для первого раза? — спрашивал доктор, когда Клавдия вышла в залу и двери за ней были затворены.

— Пусть она подойдет к дяде, погладит его по голове и переведет на диван, — предлагал Полиевкт.

— Нет, это очень сложно для первого раза... Будет достаточно одного действия, — сказал доктор.

Решено было, что девушка подойдет к Марфе Захаровне и возьмет у нее платок из кармана.

— Полиевкт, ради ты Христа... — жалобным голосом проговорила Марфа Захаровна, бросая вязанье. — Снимешь ты с меня голову!

— Что же, бабушка, мы можем и бросить... — холодно ответил внучек, пожимая плечами. — Извините, господа, у нас все грешно... Пойдемте лучше куда-нибудь.

— Ах, делайте, как знаете... — застонала Марфа Захаровна, отмахиваясь рукой.

Когда девушка вернулась в гостиную, доктор завязал ей глаза платком, поставил среди комнаты и, положив руки на плечи, проговорил:

— Вы старайтесь, Клавдия Семеновна, решительно ни о чем не думать... А вы, господа, упорно думайте о загаданном.

Наступила мертвая тишина. Марфа Захаровна со страхом смотрела то на внучку, то на доктора и потихоньку читала Исусову молитву. Да не греховодники ли, что придумали... На беду и лестовка осталась в моленной, а то бы по счету прочитать сорок раз молитву-то, все же легче. Полное лицо Марфы Захаровны, когда-то замечательно красивое, теперь имело такой испуганный и жалкий вид, что даже Полиевкт пожалел ее про себя. Если бы не гости, он приласкался бы к ней и даже попросил прощения; но ведь вот эти инженеры ви-

дели коровницу, как она в своем кубовом затрапезном сарафане залезла в гостиную, да еще с подойником... Будут смеяться над ними, разнесут по всему городу.

— Угодники-бессребреники, помилуй нас... — шептала старуха, закрывая в ужасе глаза, когда Клавдия нерешительно сделала два шага к ней.

— Тсс!..

Сначала движения девушки были нерешительны. Она, видимо, колебалась, и тонкие пальцы рук судорожно сжимались. Но потом она пошла прямо к столу, пощупала скатерть и потянулась к бабушке. Это движение заставило Марфу Захаровну придвинуться в самый угол дивана, и она умоляюще протянула руки вперед. Еще один шаг, и девушка взяла ее за руку, стала ощупывать сарафан, но в этот момент в дверях показалась кухарка Фекла. Марфа Захаровна махнула ей рукой, чтобы убиралась, но Фекла только растворила испуганно рот и что-то маячила руками.

— Да чего тебе?.. — сердито спросила Марфа Захаровна.

— Ох, матушка родимая... приехал... — бор-

мотала Фекла.

— Да кто приехал-то, говори толком.

— Ох, сам приехал... Садок приехал, матушка, велел тебя посылать...

На несколько мгновений Марфа Захаровна совершенно оторопела, точно по ней выстрелили, но потом быстро поднялась, на ходу поправила шелковый платок на голове и почти бегом бросилась из гостиной. Клавдия сорвала повязку с глаз и смотрела с ужасом на брата.

— Кажется, что-то случилось? — заговорил доктор, оглядываясь. — Мы можем повторить сеанс в другое время...

— Нет, все это пустяки... — с деланным смехом ответил Полиевкт и прибавил: — Это старичок один приехал, из наших... Он у нас за святого слывет.

— А... что? — спрашивал Капитоша, просыпаясь. — Кто приехал?

— Садок приехал, дядюшка, — объяснял Полиевкт. — Не желаете ли его встречать идти?

Старик смешно вытянул губы, сморщился и только заморгал глазами.

— А... Садок... ну его... — бормотал Капитоша, снова погружаясь в свою дремоту.

Клавдия бросилась вдогонку за бабушкой и настигла ее только у самой лестницы. Старуха с несвойственной ее годам живостью хотела спускаться в нижний этаж.

— Бабушка, куда вы?.. Позвольте, лучше я сбегу вниз и приведу его к вам.

Старуха посмотрела на нее непонимающими глазами и укоризненно покачала головой.

— Лестовку... в моленной... — проговорила она упавшим голосом, начиная спускаться по лестнице; с одной стороны под руку ее поддерживала Фекла, а с другой — Афимья.

Глава 2

На дворе у самого подъезда стояли самые обыкновенные крестьянские розвальни, запряженные лопоухой клячей. В передке розвальней, съежившись, сидел какой-то мужик. Его наполовину занесло снегом, и он от холода похлопывал рукавицами. Когда на подъезд выскочила Фекла с фонарем в руках, а за ней показалась в дверях сама Марфа Захаровна, мужик приподнялся, но не сказал ни слова.

— Батюшка, Садок Иваныч... — бормотала старуха, закрывая голову от ветра большой ковровой шалью. — Милости просим, голубчик...

— А ты пуще проси, Марфа Захаровна... Проси пуще... — ответил гость. — Да не бойся, подходи ближе...

Марфа Захаровна, как была в одном сарафане, пошла к самым саням и низко поклонилась сидевшему в них седому старику.

— Бабушка, да вы простудитесь!.. — крикнула появившаяся в дверях Клавдия. — Без шубы... в одних башмаках... Бабушка, простудитесь, вернитесь!

— Ничего, не простудится... — спокойно заметил старик, вылезая из розвальней. — Ужо лошадь-то надо прибрать. Верст с тридцать тоже пробежала животина...

Он нарочно тянул, чтобы подержать лишнюю минуту старуху на морозе, а когда Клавдия выскочила на снег сама и потащила бабушку в комнату, с улыбкой заметил;

— Ничего... Прежде босая по снежку-то бегала да не студилась... Ну, принимайте гостя...

Стряхнув снег с нагольного тулупа и еще

раз хлопнув рукавицами, старик вошел в сени. По лестнице он поднялся совсем молодцом, стараясь ступать заледеневшими валенками не по ковру, а на каменные ступени. Когда Фекла сунулась поддержать его за одну руку, он грубо ее оттолкнул и назидательно проговорил:

— Разве я архирей, что сам не могу ходить!..

В верхней передней, заметив над дверями медный литой беспоповщинский крест, старик снял меховой малахай и положил начал. Когда он кончил, Марфа Захаровна тяжело повалилась ему в ноги, приговаривая:

— Прости, батюшка, Садок Иваныч.

— Бог тебя простит, Марфа Захаровна... Да ты ниже, ниже кланяйся — вот так. Ты ведь богатая...

Он нагнулся и рукой придавил голову старухи к самому полу.

— Благослови, батюшка, Садок Иваныч...

— Бог тебя благословит, Марфа Захаровна. Ну, вот так, до полу, миленькая.

Те же уставных три метания сделали и остальные три женщины: Клавдия, Фекла,

Афимья. Когда последняя кланялась в третий раз, показались из залы гости и остановились в дверях.

— Это кто? — грубо спросил старик, показывая рукой на шептавшихся между собой молодых людей.

— Гости, Садок Иваныч... Посидели, а теперь домой пошли.

— Ну, пусть идут...

Старик посторонился к стенке и внимательно смотрел, как бритоусы и табашники прощались с хозяевами.

— Пойдем ко мне, гостенёк дорогой, — приглашала Марфа Захаровна, когда гости, торопливо накинув шубы, начали спускаться по лестнице.

— Приглашаешь, так и то надо идти... — согласился старик, с трудом ступая по налощенному полу.

Марфа Захаровна понуро шла за ним, огорченная Полиевктом, который не только не сделал метания перед Садоком Иванычем, а еще убежал из дому вместе с гостями — для того и не остался, чтобы не покориться. За ней, как тень, неслышными шагами шла

Клавдия. Девушка испытывала теперь тяжелое и неприятное чувство, какое нагонял на нее с детства старый начетчик Садок. Он всегда был стар, всегда приезжал невзначай, и всегда она боялась его до слез. Старик сам прошел на половину Марфы Захаровны, где начинались такие низенькие комнаты, с крашеными стенами и потолками, и где всегда так жарко было натоплено. В небольшой гостиной он снял с себя верхний тулуп, потом полушубок и остался в одном полукафтане из простого крестьянского сукна и валенках. Теперь уже он совсем был не страшен: низенький, сгорбленный, худенький старческой худобой, с редкой седой бородой и легкой лысиной на голове. Живыми оставались одни глаза — большие, строгие, темные глаза, глядевшие насквозь. Окружавшие их лучи глубоких морщин придавали лицу выражение угодника с иконы старинного письма.

— Мимо ехал... завернул проведать тебя, миленькая, — с ласковой строгостью заговорил он, не глядя на старуху, — Чай, небось, пила с гостями?

— Нет, так сидели, Садок Иваныч... Празд-

ничное дело, у самих в дому молодые люди...

— В праздник молиться надо, миленькая... молиться надо...

— Закусить с дорожки не прикажешь ли, Садок Иваныч?..

— Прикажу, миленькая... Вот девушка и принесет страннику угощенье: ломоть ржаного хлебца, сольцы да луковку.

Когда Клавдия торопливо вышла из комнаты, старик строго спросил:

— Отчего замуж не выдаешь?.. Нехорошо... А с гостями-то внучек убежал?.. Видел...

— Ох, Садок Иваныч, не прогневайся ты на нас, родимый мой!.. — жалобно запричитала Марфа Захаровна. — Молод еще... не вступил в настоящий разум.

— От гордости, миленькая... от гордости... Постыдился старику поклониться при табашниках.

Голос у старика был необыкновенно свеж и гибок, с быстрыми переходами от ласковых нот к грубым. Когда Клавдия вернулась с тарелкой, на которой лежал ломоть ржаного хлеба, луковка и стояла солонка, Садок Иваныч погладил ее по головке и отпустил.

— Ступай к себе, миленькая... Нечего тебе наши стариковские разговоры слушать.

Старик помолился перед образом, сначала посмотрел на него из-под руки, не мазаный ли, а потом принялся за скромную трапезу. Он переломил хлеб пополам, круто его посолил и, подставив одну пригоршню, чтобы не уронить крошек, начал закусывать. Луковка только захрустела на зубах: у Садока Иваныча в восемьдесят лет все зубы были целы. Марфа Захаровна стояла перед ним, подперши одной рукой голову, и смотрела.

— Ну, вот спасибо на угощении, миленькая... — проговорил старик, собирая языком упавшие в пригоршню крохи.

— Да уж какое угощенье-то, Садок Иваныч... Не обессудь, голубчик.

— Ладно нам, а по грехам нашим так и за нас перешло... Плоть недугует, миленькая, а и того бы не надо. Прямо сказано: камение претворю в хлебы... Маловерны мы и скудны сущи умом... Ну, как ты поживаешь, Марфа Захаровна? Тепло у тебя, светло, а у других-то, может, и темно и холодно... Получше нас с тобой, а в холоде и темноте сидят. Богатая ты, с

тебя и взыску больше: овому убо талан, овому убо два...

— Ох, не говори, Садок Иваныч: пропала моя головушка.

Старик прошелся по комнате, разминая ноги, круто повернулся и строго спросил:

— А ну-ка, скажи, богатая, что с гостями делала?.. Все говори, как перед богом... Скроешь — тебе же хуже.

Марфа Захаровна вместо ответа повалилась начетчику опять в ноги. О, он все знал! С причитанием и слезами она подробно рассказала весь вечер, как забавлялась молодежь и как она, многогрешная, уступила, вместо того, чтобы поначалить за бесоугодные затеи. Начетчик слушал эту исповедь с опущенными глазами и в такт печально кивал головой. Иногда он быстро вскидывал на каявшуюся грешницу глазами и бормотал: «Так... так». Когда речь дошла до стола, он ее прервал:

— Знаю... довольно. *Он* его всегда поднимает и когтем еще поцарапает. Все знаю. Табашники теперь везде через стол бесов вызывают, а он им когтем: цап!.. Вот до чего дошло... Не бойсь, подавай *ему* стол. Тоже знает, где

вылезти. А ты знаешь, миленькая, что такое есть стол? Ох, великий и непоправимый грех: хлеб на столе едят, миленькая, и с молитвой едят. Помрешь, миленькая, куда тебя положат-то? Вот *он* тебя тогда со стола-то когтем и зацепит... Верно тебе говорю: везде теперь маловернии бесоиманием занялись, и везде *он* оказывает свой звериный образ... Ну, дальше говори.

— Да нечего говорить-то, Садок Иваныч!

— Говори все!.. — закричал на нее старик и затопал ногами.

Нечего делать, пришлось рассказывать о внушении мыслей через влияние, причем сама Марфа Захаровна сбивалась на каждом шагу и не умела объяснить всего по порядку.

— Девица с завязанными глазами и подошла к тебе? — спрашивал старик, стараясь понять эту бессвязную речь.

— К самой, и рукой этак ищет... ищет рукой-то, а я со страху даже отодвинулась... Вне себя она как будто сделалась, Клавдия-то...

— А ты сидишь и глядишь, как *он* ее к тебе ведет? На вот, мол, получай преданное в мои бесовские лапы чадо... Сам-то побоялся ухва-

тить невинную отроковицу, а привел к тебе же и лапу свою мерзкую сует... Как бы я вовремя не подъехал, так *он* сцапал бы тебя и задавил. Были случаи. От человека один смрад останется...

— Бог тебя принес, Садок Иваныч... Конечно, где же нам устоять, грешные люди... темные...

— Нет, *он* больше к богатству льнет, бес-то: и слаще есть, и мягче спать, и праздных мыслей больше... Тут когтем цапнет, в другом месте и всю лапу высунет, а богатым-то забава. О, грехи, грехи...

Старик уже раскрыл рот, чтобы обличить нечестивых, но вдруг смолк и тихо проговорил:

— А я к тебе, миленькая, по делу приехал... Надо потолковать с тобой. Чуяло мое сердце, что и у вас неладно... Сперва помолиться надо, а потом потолкуем. Великие знамения явились, Марфа Захаровна... Настали последние Бремена, и земля затворися: народился льстец всескверны. Сын погибельный мечтательну плоть воспринял, и сия убо лестные его козновения в прочих изъявлена быша...

Горе, горе душам нашим!

Глава 3

Марфа Захаровна повела гостя в моленную. Нужно было пройти целый ряд низеньких комнат, отворить потайную дверь в стене и спуститься по темной лесенке в нижний этаж. Низкая и узкая комната была без окон. В глубине всю стену занимала божница, или иконостас. Иконы были завешаны шелковой зеленой пеленой с нашитым на ней восьмиконечным раскольничьим крестом. В отдельном киоте стояла икона Казанской божией матери в дорогом золотом окладе, усыпанном драгоценными камнями, — она никогда не закрывалась, и перед ней всегда горела неугасимая лампада. Эта икона была родовой и перенесена была в моленную Шелковниковых из разоренного на Имосе знаменитого Кесаревского скита. Около стен шли деревянные скамейки. На них лежали разноцветные «подрушники». В стене у божницы, где стоял раздвижной монашеский аналой, прикреплены были две деревянные укладки — одна с божественными книгами, а другая со свечами, ладаном и кацеями[351].

Отдернув пелену с иконостаса, Марфа Захаровна зажгла перед иконами свечи и лампады. Из потемневших окладов обронного и бассменного дела глянули суровые лики строгановского письма, медные литые складни, образки, кресты и целые иконы. Беспоповцы предпочитают медные иконы, но у Шелковниковых допускалось и старое письмо на досках[352], — оно по наследству досталось из разных скитов, разоренных в гонительные николаевские времена. Зорко оглядев знакомую шелковниковскую святыню и найдя все в порядке, Садок положил установленный начал и сейчас же поставил Марфу Захаровну на поклоны.

— Двести поклонов, миленькая, положишь за свои прегрешения... Нужно было бы тысячу, да вижу твою немощную плоть и остальные сам доложу за тебя.

Трудно было Марфе Захаровне отбивать эти поклоны, но Садок стоял рядом с ней и отсчитывал их по лестовке. Старуха обливалась потом, задыхалась, но начетчик был неумолим. Когда епитимия была кончена, Садок принялся читать нараспев канон Казанской

богородице. Он читал в нос, растягивая слова. В некоторых местах голос его прерывался и слышались слезы. Марфа Захаровна молилась с горькими слезами, ожидая какой-то неминучей беды. При мерцающем свете зажженных лампадок и восковых свечей седой старик казался ей пришельцем не из здешнего мира. А он все читал, и слезы текли по его седой бороде...

Кончив моление, Садок в изнеможении сел на скамейку и несколько минут сидел с закрытыми глазами. У Марфы Захаровны отнимались ноги от усталости, но она не смогла сесть и ждала, когда он заговорит.

— Знаешь, что сказано у Игнатия Богоносца: «Всяк глаголяй, кроме поведенных, аще и достоверен будет, аще и постит и девствует, аще и знамения творит, аще и пророчествует, волк тебе да мнится во овечей коже, овцам пагубу содеваюц»... А в Кирилловой книге сказано: «Да не бываем к тому младенцы умом влающеся и скитающеся во всяком ветре учения во лжи человечестей, в коварстве козней льщения. Блюдем истинствующе в любви...» Понимаешь?.. «И власть первого

зверя всю творит и поклонятся ему... и огнь сотворит нисходити на землю пред человека... работы египетские вместятся»... И этого не понимаешь?..

— Ох, боюсь я, Садок Иваныч... тошнехонько...

— И нужно бояться: будет вне страх, внутрь трепет, глад и жажда, в домех рыдание... Увянут доброты лиц и образов, и лепоты женские увядятся, и желание всем человеком и похоть отбегнет... Восплачется люте всякая душа!..

Начетчик говорил прямо цитатами из раскольничьих цветников[353] — память у него была изумительная. Но все это было только вступлением к настоящему делу, чтобы не так был резок переход от канона к обыденной речи.

— А ты присядь, миленькая, — пригласил Садок изнемогавшую старуху. — Еще бы постоять тебе, да уж лета твои немалые... Был я в Москве, а теперь объезжаю боголюбивые народы... Горе душам нашим: вострубн седьмая труба. Знамения везде, а мы слепотствуем в своем малодушии... И огнь сведен с неба,

а нам все мало.

— Это ты про телеграф?

— Про него... Твои же слова по проволокам беси волокут.

Мало: жизнь свою начали страховать в Москве... Не надеются на милость божию, а на свою хитрость. Мало и этого: на аер[354] поднимаются и в бездны падают... В Москве мне сказывали, как одна немка на воздушном шаре летала — ухватится зубами за веревку и летит. А другая немка в театре заберется под самый потолок да оттуда вниз головой и бросится... И живы обе. Это как, по-твоему?.. Сами оне собой этакую страсть принимают? Он, бес, подымает их на аер, а потом низвергнет тычмя головой. Есть тоже оне хотят, хоть и немки: льстец их гладом и донимает. То же и с ними будет... Сказывали в Москве же, как бесоугодные пляски творятся всенародно оголенным женским полом, как по трактирам прельщенно распевают бесстыжие немки и жидовки, а властодержцы и богоборные потаковники всякие зломерзские заводы утверждают, идеже люте гибнет и женск и мужеск пол. Так я говорю?..

— Ох, так, родимый мой...

— То-то, так... А зачем внучку замуж не выдаешь? А внуку зачем потачишь?..

— Голубчик, Садок Иваныч, да где же нынче женихов-то возьмешь? Рада бы радешенька с рук сбыть, и случаи такие навертывались, да сама-то Клавдия говорит: «Бабушка, денег мои женихи ищут во мне, а не меня...» Не гнать же ее мне силом!.. Девушка воды не замутит, а не хочет себя потерять. Внучка Полиевкта люблю и знаю сама, что грешу, а как быть мне: разе за ним угоняешься?

— По трактирам, небось, внучек-то ухлестывает?..

— Не скрою: есть грех... Выговаривала я, началила и слезами плакала, а он из дому бежит. На невест и не глядит, потому любопытно ему на своей полной воле отгулять...

— Так, так... Все верно: и желание всем человеком отбегнет — прямо в писании сказано. Все боятся нынче закон принимать... Жаль мне вас, горемык богатых. Вон Капитон-то Семеныч изнищал как плотию и главою зело оскорбел... То же и с Полиевктом твоим будет: достигнет и его собачья ста-

рость. О, горе, горе душам нашим!.. Ищутся не жены, а богатства и покупают себе остуду... Иссякла радость в супружестве, и нет правильного рождения детям, ибо затворилось само небо, и затворились в себе потерявшие желание жены. Роду человеческому погибель, даже прежде, как появится из утробы матерней... Вижу, тягчишь ты, миленькая, и воздыхания утробу твою терзают: все мы сидим в челюстях мысленного льва.

— Что делать-то, Садок Иваныч?

— А то и делай: рыдай и молись... Будет, побоярила, а теперь казнись.

— Да я не про себя: другие-то как?

— И другие то же самое... Работать не хотят, а каждый боярил бы. А я тебе еще последнее знамение скажу: настроили фабрик, наставили машин... пошли везде ситцы да самовары... Все придумано, одно хитрее другого, а хлеб все дорожает, и везде у машин египетские работы вместились... Это как?.. Хлеб дорожает, а его к немцам везут... *Он* его увозит, хлеб-то, а назад отрыгает железом да блондами[355]. Тут запляшешь голая, когда хлеба захочешь... Тут тебе бесы по проволокам бегут,

тут бесы машины ворочают, а лепота женская на поругание отдается... Вот хлеба не могут только придумать, а подают алчущим камень. Пошла по всей земле иноземная пестрота, неукротимая рознь и рассечение... Вот я и пришел сказать тебе: возгласи седьмая труба, и конец близится. Слезами омывайте лица ваши и утро и вечер и будьте готовы...

Марфа Захаровна тихо плакала, сидя на скамейке: Садок говорил правду... Спасения не было.

— Иди-ка ты, миленькая, спать, — ласково проговорил начетчик.

— А ты-то как?

— А я, видно, здесь останусь... Да не забудь наказать, чтобы скоту моему сенца бросили охапочку...

Сотворив метание, Марфа Захаровна вышла из моленной. Она шаталась, поднимаясь по лестнице, и несколько раз садилась отдыхать. Слезы ее несколько облегчали, но сердце надрывалось за других. Огорченная старуха не заметила спрятавшейся в углу у лестницы темной фигуры: это была Клавдия... Девушка подслушала весь разговор бабушки с

начетчиком.

А Садок, проводив хозяйку, опять встал на молитву и плакал слезами о суете сует погрязшего по грехам мира. Он вслух читал покаянные псалмы и каноны, истово крестился широким раскольничьим крестом, отбивал земные поклоны и опять плакал.

Глава 4

Ночь не спалось Марфе Захаровне, неотвязные думы одолевали. И все Садок из головы не выходил: праведный человек... Все спят, а он один стоит на молитве. Устал с дороги и назябся, а ничего его не берет. Конечно, бог поддерживает праведного человека. И все-то он правду говорит, все правду и всякого насквозь видит. Не бойсь, сейчас заприметил, как Полиевкт убегал от него давеча.

— Седьмая труба возгласи, — повторяла старуха, напрасно стараясь стряхнуть с себя непосильное бремя ежедневных забот и всяческой житейской суеты. — Скоро кончина мира... Садок все знает.

Страх смерти нападал на нее, и зубы начинали выбивать лихорадочную дробь. Господи, что на свете-то делается, да и у ней в доме то-

же хорошо. Ох, грехи, — много грехов, без конца краю, и за каждый грех свой ответ.

Припомнилась ей вся ее долгая жизнь...

Родилась она на озере Имосе, где процветали знаменитые скиты — Веринский, Кесаревский, Никольский, Косовской. Семья была бедная, и девочкой она бегала босая во всякую погоду. Хлеба даже не всегда хватало, и отец перебивался кое-как около скитов. В Кесаревский скит ее отдали учиться грамоте у стариц. Строго жили скитницы и строго наказывали учениц ременными лестовками. Когда отец умер, семья осталась безо всего, и маленькую девочку Марфеньку старицы взяли к себе в скит — очень уж пригожая из себя была девочка, и голос такой звонкий, что все заслушивались. Скитницы прочили из сироты сделать уставщицу, но судьба ей вышла другая.

У старцев и стариц на Имосе были старинные крепкие связи со всеми одноверцами, а с Москвой в особенности. Слава об Имосе разошлась далеко, и сюда приезжали, как в тихое убежище, на покой разные богатые старики и старушки. Они занимали отдельные келейки

и жили по строгому скитскому правилу. Такими были старики Нижегородцевы, которых Марфенька застала уже в скитах. Про них шла молва, что старики богатые и пришли на Имос откуда-то из-под Москвы. Детей у них не было, и Нижегородцева с первого раза привязалась к красивой и ласковой послушнице. По праздникам они брали ее к себе и заставляли петь умильное скитское пение. Здесь в первый раз Марфенька увидела и Садока. Он бывал на Имосе наездом, по каким-то тайным делам, о которых знали одни матери-наставницы. Бывалый человек — и на Ветке живал, и в Стародубье, и на Керженце, и в Иргизских скитах, и на Выге.

Особенно зачастил он в скиты, когда Шелковниковы бросились искать в Сибири золото. Много было тут заколочено денежек, а трудов и не сосчитать. Семья богатых сальников Шелковниковых выдвинулась на первый план, а Полиевкт Шелковников впоследствии прославился на всю Сибирь. Это был уже не молодой человек и притом вдовец. Полученное от отца наследство он закопал в Сибири и сделался бы банкротом, если бы не выручили

Нижегородцевы. Свел их все тот же Садок, знавший всех вдоль и поперек. Старики были крепкие, но Полиевкт дал великую клятву, что десятую часть всего сибирского золота отдаст на скиты, а золото он уже нашел, и только недоставало денег, чтобы обставить необычайное и сложное дело. Садок тянул сторону Полиевкта и уломал Нижегородцевых. Как теперь видит Марфа Захаровна все эти советы, разговоры и пересуды, которые шли по скитам целую зиму. Весной Садок скрылся — он поехал в тайгу вместе с Шелковниковым. Вернулись они только поздней осенью, по первопутку: дело было сделано, и Шелковников не только сам сделался миллионером, но озолотил всю родню. В скиты он наезжал довольно часто и привозил каждый раз дорогие гостинцы. Скитские матери и наставницы ухаживали за дорогим гостем, как за кладом, а он больше льнул к Нижегородцевым. Здесь он высмотрел красавицу-послушницу и женился на ней.

Переход от домашней нищеты и скитского послушания к богатой жизни не испортил Марфы Захаровны; она навсегда сохранила

немного монашеский характер и повела самую строгую жизнь. Лет через десять Полиевкт Шелковников умер от удара, а Марфа Захаровна осталась «матерой» вдовой, с двумя сыновьями на руках. Пришлось самой вести все дела, и из бывшей скитской послушницы выработался настоящий делец, каких немало в среде женщин-раскольниц. А дела Марфа Захаровна вела так, что все ей завидовали. Были и другие богатые золотопромышленники — Савины, Оглоблины, Мышкины, да те недолго покружились: богатство так же скоро уплыло, как и приплыло. Осталась целой одна Марфа Захаровна и твердо поддерживала фамильную промысловую честь. Ей же приходилось помогать разорившимся миллионерам и разной забедневшей родне. И себя она держала строго, и детей, и весь дом. Громадное богатство давало все средства сделаться влиятельным членом раскольничьей общины, и без благословения Марфы Захаровны ничего здесь не предпринималось. Она опять ушла бы в скиты, если бы не дети и не большие дела с Сибирью. Садок при ней был главным советником, хотя наезжал только време-

нами — у него по всей России и Сибири были дела и хлопоты. В шелковниковском доме установился немного монашеский строй жизни, почти как в ските. Детей Марфа Захаровна воспитала в страхе божьем, но младший, Капитоша, не издался — вышел скорбен и припадошен к водке. Он так и остался старым холостяком. Семен был любимцем матери и скоро стал ей подмогой. Из ее воли он не выходил до седого волоса. Женатый человек, имевший больших детей, не смел пикнуть перед матерью и на каждые пустяки должен был по-раскольничьи просить благословения. С годами из Марфы Захаровны выработался тяжелый семейный деспот, пред которым пресмыкалось все кругом. Прибавьте к этому еще скитские свычаи и обычаи и гнет всего раскольничьего обихода. Особенно тяжело доставалось в доме женщинам — дочерям Марфы Захаровны и жене Семена. Все они шли как-то так, между прочим, как домашняя скотина; Марфа Захаровна даже детей отняла у невестки. Впрочем, дочери скоро повыходили замуж — весь род Шелковниковых славился красотой, а тут еще и богатство на придачу.

Оставалась на руках одна невестка, которая не смела дохнуть и прожила жизнь как-то совсем в стороне.

Никто в доме не обращал на нее внимания, и только по праздникам ее наряжали, как куклу, чтобы показать гостям. Она и умерла так же незаметно, как жила.

Чем старше становилась Марфа Захаровна, тем делалась строже, и, конечно, всего больше доставалось окружающим. Утром и вечером все домочадцы и прислуга собирались в моленной. Сначала все кланялись в ноги Марфе Захаровне, а потом делала то же она. Под праздники в моленной шла бесконечная служба, и Марфа Захаровна сама «говорила кануны», зажигала свечи и кадила кацеей образа. Около нее сплотился целый замкнутый кружок, но влияние шло и дальше. Скиты на Имосе были разорены в сороковых годах грозным архиереем Мокнем, и Марфа Захаровна должна была пристроить сотни людей по разным раскольничьим заповедным углам. В своем городе она, конечно, пользовалась большим почетом, и генерал Пентефрий, зоривший с архиереем Мокием скиты на Имосе,

каждый праздник являлся к ней с визитом. Это был николаевский строгий генерал, попавший из кавалерийского полка в горные начальники; Пентефрием его прозвал Садок, ненавидевший властодержца за разные «знаки гражданской, телесно ощущаемой власти», — в переводе это означало острог, кандалы, шпицрутены и плети. Даже сам Мокий бывал в доме Марфы Захаровны, и она принимала его с политичной раскольничьей вежливостью, хотя после каждого архиерейского визита и бучила в щелоке все медные иконы, а писаные образа мыла в воде с мылом. Нечего и говорить, как после такого архиерейского визита мыли, чистили и вообще чередили весь дом.

Положение старшего сына, Семена, было не из завидных. Он прожил всю жизнь каким-то дофином, да так и не дождался своего «боярства». Он умер на сорок седьмом году, как-то вдруг, от удара. Марфа Захаровна даже не оплакивала его особенно, потому что оставался Полиевкт — вылитый дедушка.

— Надо бы Капитоше помереть-то... — проговорила она на поминках.

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — отрезал ей Садок, разозленный этой бесчувственностью. — Переначалила ты Капитона-то Полиевктыча, миленькая. А своя кровь — из роду-племени не выкинешь.

Единственной грозой для Марфы Захаровны оставался Садок; только его одного она и боялась. Домашняя челядь была рада его неожиданным появлениям, потому что он хоть на неделю утихомиривал «ндравную» старуху. В раскольничьем мире он пользовался громкой популярностью, как девственник и вообще подвижник. С Марфой Захаровной Садок обращался нарочито строго и постоянно корил богатством.

— В монастырь пора, миленькая, давно пора, — повторял он последние десять лет. — Будет, побоярила... Наги родимся, наги и в землю пойдем, а о душе надо позаботиться. Много, поди, грехов-то набоярила?

— Ох, и не говори, Садок Иваныч!.. Сама бы давно ушла, да на кого покину сирот-то своих? Нужно вот внучку замуж выдавать, Полиевкта женить... Капитоша вон живет ни к шубе рукав.

И вдруг: седьмая труба!..

Было тут о чем подумать. Все кончено... Марфа Захаровна лежала в своей постели с закрытыми глазами и все думала, думала без конца. Она даже видела себя мертвой и в собственном доме уже чувствовала мерзость запустения: моленная заперта, неугасимая не теплится, старые слуги все разбрелись, а наверху неистовствуют пьяные гости, слетевшиеся на даровое угощение... Вот и он, Полиевкт, погибает в объятиях продажной красоты, и дедовский дом гулко отдает бесоугодный женский смех, визги и неистовую пляску. Развеют по ветру все богатства Шелковниковых, как это было с другими.

— Господи, помилуй!.. — в ужасе шептала старуха, просыпаясь от этих грез наяву.

А что же Клавдия? Куда она денется без нее?.. Останется она непокрытой головушкой, а богатой невесте кругом соблазн. Будет потом клясть бабушку, что вовремя не пристроила. Смертный страх охватывает старуху, она хочет подняться и позвать внучку...

— Клавдия... Клавдия... — едва бормочут посиневшие губы, и Марфа Захаровна чув-

ствует, как что-то тяжелое, как гора, начинает давить ее. — Клавдия...

Глава 5

Комната Клавдии была рядом, и девушка слышала, как ворочалась и охала старуха. Ей тоже не спалось... Чего-чего она ни передумала за эту ночь и несколько раз принималась плакать.

«Не пойду я замуж... — думала девушка, припоминая слова Садока. — Лучше в скиты уйти, как делают бедные девушки... Еще какой муж попадется...»

Из трех теток ни одна не была счастлива в замужестве: старший зять — игрок, промотавший состояние жены, второй — пьяница, а третий — банкрот. Плохо приходится богатым невестам, на которых женятся из-за денег... В уме она перебрала всех знакомых молодых людей, которые за ней ухаживали, и ни один из них ей не нравился. Нет, страшно, лучше уйти в скиты... Девушка уже видела на своей голове иночество[356] и черную наметку, прикрывавшую ее девичью косу. Ею овладел религиозный экстаз, и она долго молилась, лежа с закрытыми глазами. Завтра же

утром она пойдет и скажет бабушке все... Кстати, и Садок Иваныч здесь — он ей поможет уговорить упрямую старуху.

Она забылась только к утру тяжелым и тревожным сном и проснулась чем свет. Умывшись на скорую руку и накинув поверх ночной кофточки теплую шаль, она постучала в дверь бабушкиной комнаты, но ответа не последовало. Старуха всегда спала чутко и подымалась чем свет, но бессонная ночь сломила и ее. Девушка на цыпочках вышла из комнаты через другую дверь и встретила в столовой Феклу — самовар уже был на столе и все остальное для утреннего чая.

— Спит наша баушка... — шепотом проговорила Фекла. — Умаялась-таки вчера... А Садок Иваныч цельную ночь выстоял па молитве.

Пробило восемь часов. Где-то зазвонили к ранней обедне, а бабушка все не просыпалась. Фекла несколько раз подкрадывалась к дверям бабушкиной комнаты и прикладывала ухо к замочной скважине: «Нет, спит наша воевода. Достиг, видно, ее Садок Иваныч...»

Пробило девять часов. В столовую вышел

Полиевкт с заспанным и измятым лицом. Клавдия старалась не смотреть на него: ей вдруг сделалось гадко — она знала, где он пропадал ночь и откуда вернулся к утру. И встал пораньше, чтобы обманывать бабушку.

— Миленькие... не ладно что-то... — шептала Фекла. — Уж не попритчилось ли нашей матушке чего?..

Эти глупости рассердили Полиевкта, и он сам пошел к бабушке. Постучал в дверь сначала тихо, потом громче — ответа не было. Но дверь была не заперта, и он послал сестру. Марфа Захаровна лежала мертвая, с посиневшим и обезображенным конвульсиями лицом... Клавдия, как птица, полетела в моленную и с плачем объявила Садоку Иванычу, что бабушка умерла.

— Я знаю, — спокойно ответил старик. — Зачем и приехал... Все знаю...

Он, не торопясь, закончил канун, положил уставные поклоны и, так же не торопясь, поднялся наверх. Войдя в комнату Марфы Захаровны, он положил перед образами начал, потом поклонился в землю покойнице, благословил ее и тихо проговорил:

— Земля и в землю отыдеши...

Клавдия стояла в углу и глухо рыдала.

Попросту

Глава 1

— Кликните мне, пожалуйста, извозчика, — вежливо проговорил молодой человек, только что «приехавший доктор» в глухой провинциальный городок Пропадинск.

— Извозчика? — удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную. — Разве по Фомку сбегать, он у собора стоит, а других никого нет.

— Все равно: Фомка или кто другой... Я тороплюсь, нужно визиты сделать.

Павел Иваныч Кочетов, молодой врач, только что сорвавшийся с университетской скамьи, вчера приехал на место своей службы и, так как в Пропадинске «проезжающих номеров» не оказалось, остановился на первой попавшейся частной квартире у какого-то прасола. Этот прасол, пожилой человек с окладистой бородой, вышел к нему босиком и в одной ситцевой рубахе, внимательно

осмотрел гостя с ног до головы и решил про себя: «Молод еще, а пооперится — человеком будет».

«Вот патриархальные нравы!» — думал, в свою очередь, Кочетов, любуясь босыми ногами хозяина и его ситцевой рубахой, перехваченной гарусным пояском.

Утром он проснулся рано, потому что не давали спать самые патриархальные клопы, и теперь с нетерпением повернулся несколько раз перед зеркалом. Среднего роста, плотный, с широким русским лицом и небольшой бородкой, он был тем, чем и должен быть провинциальный врач: ничего *этакого* не было ни в костюме, ни в манерах, ни в лице. Просто приехал человек на место и будет тянуть свою лямку, как тянут все другие люди.

— А Фомки-то нет у собора, — заявила вернувшаяся кухарка. — Надо полагать, его к Бубновым перешибли...

— Ну, а другие?

— Других-то, видно, не бывало, барин.

— Как же я, по-твоему, буду делать; на улице грязь по колено, я по грязи и отправлюсь с визитами, подогнув штаны?

Кухарка только развела руками:

— Нету Фомки...

— Эй, Авдотья, а ты к Луковкиным сбегай, — послышался из-за перегородки голос хозяина. — Может, они дадут лошадь... У них два экипажа, так иногда ссужают на случай бракосочетания или на похороны. Так и скажи: господин дохтур приехали, так им весьма требовается...

— Но ведь это неловко: незнакомые люди... — бормотал Кочетов, начиная в виду затянувшихся переговоров снимать свежие перчатки.

— Ничего, Павел Иваныч, — утешал тот же голос из-за перегородки с уверенной ноткой. — Как быть-то?.. Не вы одни, а для первого раза по колено залезть в грязь, оно, тово, не способно!.. А Луковкиным што, все равно задарма лошадь стоит. Да вы не сумлевайтесь, потому как у нас все попросту: сегодня вам Луковкины удружат, а завтра вы им.

— Все-таки, знаете, оно как-то неловко.

Через полчаса Авдотья приехала на лошади Луковкиных, причем вся улица уже знала, кому понадобилась лошадь и для чего. Город

был маленький, всего тысяч пять жителей, а чем меньше русский город, тем сильнее обывательское любопытство. Усаживаясь в экипаж, доктор с улыбкой припомнил, что лошадь у Луковкиных берут на случай бракосочетания или на похороны, так что он являлся и женихом и покойником.

— К городскому голове... — лаконически приказал он кучеру, несколько взволнованный своим первым официальным визитом.

Выходило неловко только одно, что он с своим первым визитом явится на чужой лошади, точно у него нет денег на извозчика. Но эта беспокойная мысль сейчас же улетучилась под влиянием ужасных толчков, какими уснащен был путь. Пропадинские улицы осенью буквально утопали в грязи, и экипаж тащился из одной выбоины в другую, как черепаха. Ведь улиц совсем немного: главная улица, конечно, Соборная, потом неизбежная Московская, потом проспект — и только, а дальше начинались окраины со своими Теребиловками, Дрекольными и Ерзовками. В центре, конечно, была Соборная площадь, на площади зеленый собор, дальше каменный

гостиный двор, походивший, как все гостиные дворы, на плохие конюшни, еще дальше деревянная каланча, опять церковь, но уже ярко-желтая, здание «градской» думы, обывательские хоромы и грязь без конца, а в хорошую погоду пыль.

Проезжая мимо собора, кучер обернулся, внушительно ткнул кнутовищем на утоптанное местечко и проговорил:

— Вот на эфтом самом месте Фомка и стоит... Проезжающие господа весьма одобряют, ежели он, значит, Фомка, не урезал. К Бубновым его, сказывают, с утра взяли...

Дом градского головы Семена Гаврилыча Затыкина, конечно, стоял на Соборной улице и еще издали кидался в глаза своим бледно-розовым цветом. Все окна точно были залеплены разными ветхозаветными цветами вроде фуксий, гортензий, синелей и даже гераней. Недоставало только петухов и красного перца, каковые красуются на подслеповатых окнах в Ерзовке. Подъезд, впрочем, был очень приличен: разделанная под дуб массивная дверь, воздушный звонок, даже железный тент на тонких чугунных колонках. На

звонок выскочила краснощекая горничная.

— Семен Гаврилыч дома?

— Они в думе...

Кочетов сунул горничной свою визитную карточку, постоял на подъезде и решился ехать прямо в думу, благо чужая лошадь стояла тут же и первая неловкость была сделана.

До думы было рукой подать. Подчищенный двухэтажный каменный дом имел очень приличную внешность, а черная вывеска так и горела золотой надписью. Даже был золотой герб: в голубом поле серебряная лисица, пронизанная золотой стрелой. Нужно заметить, что в Пропадинском уезде, кроме мышей и зайцев, других зверей по штату не полагалось. В подъезде стоял настоящий швейцар и даже швейцар в ливрее. Конечно, это частность и пустяки, но Кочетов почувствовал себя как-то легче при виде такого осязательного знака пропадинской цивилизации.

— Пожалуйте в ремесленную управу — Семен Гаврилыч там чай кушают, — заявил швейцар, не дожидаясь вопроса. — В двенадцать часов они завсегда там...

Чай и ремесленная управа немного не вя-

зались между собой, но что вы поделаете с провинцией?.. По приличной лестнице Кочетов вбежал во второй этаж, заглянул на вывески у дверей — ремесленная управа была сейчас направо, и в приотворенную дверь доносился гул споривших голосов. Из вежливости Кочетов постучал в дверь — ответа не последовало.

— Да вы, сударь, прямо отворяйте дверь, — посоветовала голова швейцара, наблюдавшая неизвестного человека с лестницы — у нас ведь попросту...

Ничего не оставалось, как только войти «попросту». Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посредине, походила на железнодорожный буфет: на столе кипели два самовара, стояла чайная посуда, корзинки с хлебом и бутылки с ромом, а кругом стола разместились представители местного самоуправления. Появление нового человека произвело некоторую сенсацию, и общий говор смолк.

— Могу я видеть господина городского голову? — осведомился Кочетов, обращаясь к толстому седому старику.

— К вашим услугам... — отозвался краснощекий мужчина средних лет и пошел навстречу гостю с протянутой рукой. — С кем имею честь говорить?

— Врач Кочетов...

— Ах, помилуйте, очень приятно... очень!..

— Я заезжал к вам, но, к сожалению, не застал дома и вот решился... Извините, я, может быть, мешаю вам?

— Вы?.. Нет, вы в самую точку попали, и лучше ничего нельзя было придумать: в двенадцать часов мы всегда здесь, как рыба в ухе... Господа, позвольте представить: наш новый доктор...

Подхватив Кочетова под локоть, голова повел его вокруг стола и быстро рекомендовал присутствующих. Седой старик в очках оказался тем самым Луковкиным, на лошади которого приехал в думу Кочетов, потом следовал член управы Огибенин, затем председатель земской управы Голяшкин, судебный следователь Нагибин, два купца Ивановых, три купца Поповых, старший городской врач Кацман и т. д.

— То-то я смотрю в окошко: на моей лоша-

ди кто-то подъезжает к думе, — добродушно басил Луковкин. — Вот, думаю, оказия... Кому бы быть, думаю, а оно вон что вышло. Моя лошадь-то, и кучер мой, Анфим, а седок незнакомый. Хе-хе...

Кочетов начал объясняться, но голова хлопнул его по плечу, усадил насильно к столу и проговорил:

— Перестаньте, батенька: мы что, разве французы какие... У Захара-то Леонтьича лошадь одурела от стояния, а теперь все-таки ей проминаж. Вам же спасибо скажет... У нас, голубчик вы мой, все попросту.

— Все попросту! — ответило несколько голосов зараз.

— Одной семьей живем, миленький вы наш... — продолжал голова и любовно похлопал доктора по плечу. — Чего нам делить? А в двенадцать часов мы всегда здесь, в управе, чайком балуемся... Конечно, оно присутственное место, но дел никаких нет, а напиться в свое время чайку чем не ремесло?.. У нас попросту...

Этот Семен Гаврилыч оказался великим краснобаем и постоянно тыкал своим «попро-

сту». В Пропадинске это слово, кажется, не сходит с языка: и хозяин квартиры, и кучер, и швейцар, и городской голова употребляют его к месту и не к месту.

«Может быть, это местная особенность выражения мыслей, — думал про себя Кочетов — а может быть, и действительно все живут попросту».

Глава 2

Чай в ремесленной управе продолжался довольно долго, и Кочетов успел перезнакомиться со «всем: Пропадинском» — город был налицо, так что не нужно было делать и визитов. Эти провинциалы, говоря правду, произвели на него приятное впечатление: действительно, в них было что-то такое простое и добродушное, граничившее с халатом и босыми ногами; даже старший врач Кацман, несмотря на свое семитское происхождение, и тот заразился общим настроением и для первого раза дал коллеге товарищеский совет.

— У вас хороший желудок? — спрашивал он, прищуривая левый, косивший глаз.

— Не могу пожаловаться... — улыбнулся

Кочетов, поняв тонкий намек.

— Ваш предшественник поплатился именно этим путем, — задумчиво проговорил еврей и пожевал губами. — Знаете, нужна везде мера, даже в известном порядке хороших чувств...

Но Семен Гаврилыч не дал им кончить интересного разговора и в качестве души своего общества объяснил новому члену:

— Вы его не слушайте: Самойло Мосеич совсем швах... Ничего он не стоит у нас и только компанию портит. У нас так: как двенадцать часов — все в ремесленную управу и бредут... Попьем чайку, покалякаем — не нужно и с визитами трепаться.

Взглянув на часы, Кочетов сделал движение человека, желающего вовремя удалиться восвояси.

— Что это вы, батенька?.. — изумился Семен Гаврилыч. — Домой?.. Да что, разве у вас дети там плачут?.. Нет, нет, голубчик, у нас так не играют: не пустим... Только человек глаза успел показать — и сейчас тягу!..

— Не пустим! — послышались голоса, и чья-то рука ласково отняла у доктора его шля-

пу.

— Видите ли, мне неудобно оставаться уже потому, что я задерживаю чужую лошадь... — бормотал Кочетов, невольно поддаваясь напору приятельских чувств.

— Лошадь? Эге, батенька, хватились чего... — заливался Семен Гаврилыч так, что у него прыгали розовые щеки. — Да я ее давным-давно отослал и привезу вас домой в собственном экипаже. Мы хоть и живем в медвежьем углу, а можем понижать...

Кочетова занимал вопрос, что «весь Пропадинск» будет теперь делать здесь, когда чай копчен, разговоры переговорены и время подвигалось к обеду. Но из недоумения его вывело то, что все, точно сговорившись, поднялись с места зараз и толпой направились к выходу. Правда, странно было, что пропадинцы не прощались друг с другом, но, может быть, это было так принято.

— Едемте, — коротко решил Семен Гаврилыч, поглядывая на часы.

У подъезда уже ждала приличная пролетка, и кучер, не спрашивая, направился к гостиному двору. Когда экипаж повернул с Со-

борной улицы на проспект, Кочетов заметил:

— Мне, Семен Гаврилыч, по Соборной улице...

Голова посмотрел опять на гостя удивленным взглядом, но ничего не ответил, потому что экипаж уже остановился перед новым каменным зданием с приветливой вывеской: «Ахал-Теке».

— Вот мы и дома... — заговорил Семен Гаврилыч, помогая своему гостю вылезти из экипажа. — Вы еще молодой человек, учитесь жить у нас, стариков. То есть здесь мы повернемся на одну минутку, а потом уж домой.

Издали было слышно, как щелкали бильярдные шары, и, к удивлению Кочетова, в общей зале они встретили ту же публику, которая (угощалась в ремесленной управе. Как оказалось, гостиница «Ахал-Теке» принадлежала Семену Гаврилычу, и он здесь был действительно дома. Публика распоряжалась тоже по-домашнему и называла лакеев полуименами: «Мишка, мне графинчик водки и салфеточной икры» и т. д. Большинство было за мадеру, хотя это еще служило только приготовлением к обеду. Кочетов выпил в управе

для чего-то стакан чая, сдобренного ромом, а теперь Семен Гаврилыч приставал с мадерой.

— Я предпочел бы рюмку водки... — заметил он в нерешительности.

— Ах, какой вы: водка от нас не уйдет, Павел Иваныч... У нас уж такое заведение, а к чужой монастырь с своим уставом не ходят.

Пристали другие, и Кочетов, чтобы отвязаться, выпил первую рюмку, за которой последовала вторая и третья. Выпитое вино приятно ударяло ему в голову, и он вдруг почувствовал себя совсем легко, так легко, точно он всегда жил в Пропадинске и попал в родную семью. Все кругом пили, и он пил. Время летело незаметно. Кто-то расспрашивал его о мельчайших подробностях его генеалогии: чей сын, сколько семьи, сколько жалованья получает отец и т. д. Кочетов, пригретый общим участием, незаметно разболтался и пустился даже в некоторую откровенность, но вовремя спохватился и посмотрел на своего собеседника — с ним разговаривал какой-то совсем незнакомый господин, которого он не видал даже в управе.

«Что ж это я распоясался... — с недоволь-

ным лицом: подумал он про себя, оглядывая еще раз незнакомца. — В незнакомом обществе, в первый раз, а уж язык точно узлом завязан».

Виноватой, конечно, оказалась проклятая мадера, которую Семен Гаврилыч приготовлял в собственном погребке. Дальше все происходило в каком-то тумане. Кочетов опять ехал в пролетке Семена Гаврилыча, краснощекая горничная отворяла знакомый подъезд, а там высокая лестница во второй этаж и целая анфилада хорошо убранных комнат. Что всего удивительнее, так это то, что здесь они встретили ту же публику, какая угощалась в «Ахал-Теке»: и Голяшкин, и Нагибин, и Огибенин. Но из двух Ивановых сделалось три, а из трех Поповых — два; как это случилось, Кочетов никак не мог разобрать. Может быть, и он, Кочетов, перепутал, а может быть, один Иванов прибыл, а один Попов убыл.

— Душенька, рекомендую: мой друг, Павел Иваныч... — представлял хозяин доктора пожилой, но все еще красивой даме купеческого склада. — Отличный человек!.. Павел Иваныч, ты уж меня извини: у меня что на уме,

то и на языке. Широкая русская натура, терпеть ненавижу скалдырников, вроде нашего Кацмана.

Этот переход на «ты» и появление дам заставили Кочетова прийти в себя: где он?.. Нет, нужно подтянуться — в мужской компании мало ли что бывает, а при дамах нельзя безобразничать.

— А вот это сестрица Пашенька... — рекомендовал Семен Гаврилыч высокую красивую брюнетку с такими ласковыми темными глазами и фамильным румянцем во всю щеку. — Прошу любить да жаловать, Павел Йваныч, а у нас первое дело, чтобы все попросту... Пашенька, давай поцелуемся!..

Брат и сестра особенно звонко расцеловались. Кочетову показалось, что красавица особенно пристально посмотрела на него своими темными глазами, а «душенька» нахмурилась. Но неугомонный хозяин уже тащил гостя в следующую комнату, где во всю длину внутренней стены стоял широкий стол, уставленный бутылками в три ряда, и необходимая к ним «арматура» из закусок.

— Вот теперь мы добрались и до настояще-

го фундамента! — радостно проговорил хозяин, многозначительно останавливая внимание гостя на графине с очищенной.

— Я не могу, Семен Гаврилыч...

— Павел Иваныч... и ты это говоришь?..

— Нет, я уж того... Мне довольно.

— Вздор! Пашенька, заставь Павла Иваныча исполнить долг.

Кочетов почувствовал присутствие красавицы около себя, именно почувствовал, а она уже сама своими белыми руками наливала рюмки. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Кочетова — то безумное молодое веселье, которое бьет через край. Ивановы и Поповы хлопали рюмки, точно в «Ахал-Теке». Пашенька тоже кокетливо пригубила рюмочку с неизбежной мадерой, а непосредственно за этим следовал обед, причем стул Кочетова оказался рядом со стулом Пашеньки.

— Вы женаты? — спрашивала она, с серьезным лицом разжевывая своими крепкими, белыми зубами корочку черного хлеба.

— Мы его женим, Пашенька, — отвечал хозяин за гостя. — Сначала пусть так поживет, порадуется, а потом мы его и под решето.

По другую руку Кочетова оказался давешний любопытный господин, который опять начал донимать своими расспросами. Это был седенький ласковый старичок, с каким-то утиным носом, прилизанными на височках волосами и слезившимися глазками. Назойливость этого господина начала бесить Кочетова, и он только хотел резко оборвать его, как Пашенька нагнулась к его уху и прошептала с милой интимностью:

— Будьте осторожны: миллионер... единственная дочь — невеста.

Рука Кочетова как-то сама отыскала под столом теплую руку Пашеньки и крепко ее пожала, а Семен Гаврилыч поймал гримасу от боли на лице сестры и покачал головой. Он обладал счастливой способностью видеть зараз всех, как расторопный приказчик, который понатерся с публикой. Кочетов, конечно, не заметил этого братского движения: ему было опять так хорошо, точно он вернулся в этот дом из какого-то далекого путешествия и точно этот дом был его собственный.

Обед продолжался без конца: пили, ели, спорили, шумели, смеялись и опять пили. По-

дали свечи. Пашенька угощала своего соседа виноградом и мизинцем указывала на самые крупные ягоды. А старичок-миллионер опять расспрашивал Кочетова о его родных, жевал сухими губами и постукивал ножом о тарелку. У него была мания выбирать женихов для своей дочери, и каждый новый приезжий человек делался его жертвой, как было и теперь.

Что было дальше, Кочетов плохо сознавал. В комнате было ужасно жарко, потом все шумели, а Семен Гаврилыч по-разбойничьи приставал ко всем со своей мадерой. Потом один из Поповых затянул высоким тенорком:

Пей токайское вино,
В сердце жар вольет оно...

— У нас все попросту, голубчик ты мой... — шептал Семен Гаврилыч, обнимая гостя. — Все тут, как на ладонке. Давай, поцелуемся...

Поцелуи были без конца — все лезли целоваться: и Нагибин, и Огибенин, и Голяшкин, и все Поповы, и все Ивановы.

— Эй, холодненького! — командовал хозяин, взмахивая салфеткой захваченному из

«Ахал-Теке» официанту.

Потом... Позвольте, что же было потом?.. Да, потом пела Пашенька какие-то цыганские песни, кто-то тяжело плясал, где-то полетела со звоном посуда на пол, и опять сладкий туман покрывал все, а Кочетов уже сам лез целоваться к совершенно незнакомому господину.

Глава 3

Пробуждение Кочетова на другой день было ужасно: голова болела отчаянно, но хуже всего было душевное состояние. В самом деле, в первый же день своей службы он напился, как сапожник... Очень мило!.. Если пьют купцы, то им и бог велел, а ведь он, Кочетов, человек с университетским образованием и должен служить примером для других. Наконец в интересах службы неудобно, да и вообще скверно, гадко, возмутительно... Проклятая студенческая привычка — натренькаться с приятелем — сказалась, но там это делалось и с холоду, и с голоду, и еще по многим другим уважительным причинам.

Скотина... как есть скотина! — вслух повторял Кочетов, испытывая жгучее чувство

раскаяния. — Наверно, вчера Авдотья с удивлением принимала пьяное шарашившееся тело нового жильца, а хозяин только ухмылялся... «У нас все попросту!..» Черт бы их взял... А кучер Семена Гаврилыча: ведь, наверно, он отвозил пьяного гостя на фатеру?.. И теперь весь город знает уж все, да еще от себя прибавит столько же...

Чем дальше Кочетов думал, тем становилось ему хуже. Семен Гаврилыч чуть не с первого раза начал говорить ему «ты» — видит птицу по полету, потом все целовали его, и он лез целоваться, с кем-то пускался в откровенность, с кем-то спорил и говорил каким-то дамам пошлые любезности, как развернувшийся в компании «фершал» или писарёк. Нет, это просто гнусно... А кучер головы везет мертвое тело нового дохтура и думает: «Здорово нахлесталось его благородие, а еще образованные!» Нет, слово-то проклятое, которое так и лезло ему теперь в голову, как назойливая осенняя муха: «У нас попросту, все попросту».

«Разве удрать? — мелькнула у Кочетова малодушная мысль. — Сказать Авдотье, что-

бы сбегала на почтовую станцию за лошадьми, на скорую руку собрать тощие пожитки — и Пропадинск фюить!..»

Эта мысль значительно ободрила Кочетова, хотя уехать теперь ему решительно было не с чем: только поступил человек на место, и от прогонных денег осталось одно приятное воспоминание. Нужно было экипироваться, то да се, студенческие должишки, наконец, оставить несколько крох старику-отцу, который едва тянется на своей грошовой пенсии. А когда старик вышел провожать его, то отвел в сторону и таинственно прошептал на ухо: «Знаешь, Паша, в новом-то месте того... поосторожнее... Особливо поимей в виду горячительные и спиртные напитки...» Старик сам попивал и знал, что говорит. Вероятно, и сам в юности делал глупости, да и всем людям свойственно ошибаться. «Ты, Паша, ежели что, так в своей квартире устрой кутежку, ну, пришли двое — трое товарищей, поколобродили, и шито-крыто... Понимаешь?..» И теперь Кочетов точно видел это доброе отцовское лицо, которое смотрело на него с укоризной и шептало: «Эх, Паша, Паша, тово... не

ладно вышло вчера с горячительными-то напитками! Я тебе говорил, Паша...» Да, Паша хорош... однако позвольте, какое странное совпадение: Паша, Пашенька... она что-то шептала ему про миллионную невесту, а он пожимал ей руку под столом. Да, все это было... Семен Гаврилыч так сочно расцеловал ее прямо в губы — это тоже было.

«Эге, да я начинаю себя оправдывать? — вовремя спохватился Кочетов. — Нет, брат, дудки: ничем не прикроешь своего свинства, как ни вывертывайся. Еще осуждал пьяных купцов, которые скандалят по трактирам, а сам-то как безобразничал вчера... А все проклятая русская мягкая натура: нет выдержки, нет, наконец, уважения к самому — себе, — и это пьяное свинство... бррр!..»

Осторожный стук в перегородку заставил Кочетова очнуться.

— Павел Иваныч... а, Павел Иваныч?..

— Что угодно, Яков Григорьич?..

— Извините, пожалуйста, что я вас разбудил, а только, изволите ли видеть, лошадь от Бубновых второй час дожидается... Вас к больному приглашают. Карточка у вас на столе...

Кочетов соскочил с кровати, подбежал к столу и взял визитную карточку: «Ефим Назарович Бубнов». А на обороте тонким женским почерком написано: «Пожалуйста, поторопитесь к тяжелому больному». Карточка приличная и фамилия знакомая: Бубнов, Бубнов, Бубнов... Да, вчера Бубновы отбили у него единственного извозчика Фомку. Однако голова зело трещит и самого даже пошатывает. И «физиогномия» хороша, особенно выражение глаз — вообще, самый надлежащий вид, чтобы ехать с первым медицинским визитом. Прекрасно. Вот и Яков Григорьич лезет прямо в комнату, чтобы полюбоваться, как ломает человека с похмелья. Удивительное нахальство... Да, может быть, и лошадь от Бубновых послана затем только, чтобы посмотреть, каким он явится после вчерашней попойки. Эта мысль просто обескуражила Кочетова, и он сел на ситцевый просиженный диванчик, как ошпаренный.

— А я, знаете, уж припас еще с утра... — добродушно говорил Яков Григорьич, показывая пузырек с нашатырным спиртом. — Как рукой снимет, и даже хорошо внутрь каплю

или две принять. Конечно, вы молодой человек, так оно вам не в привычку.

— Послушайте, у Бубнова есть действительно больной?..

— А как же... Сам хозяин захворал, не знаю, какая его болесть ущемила... А я Авдотью услал за сельтерской...

Это родственное участие Якова Григорьича и вообще весь его добродушный вид тронули Кочетова. Ему даже хотелось, чтобы вот этот самый старичок пожурил его отечески, а ему бы, Кочетову, сделалось так стыдно, как напроказившему школьнику.

— Вчера-то я хорош явился? — спрашивал Кочетов, чтобы узнать мнение постороннего лица.

— А я, видите ли, Павел Иваныч, нарочно не велел Авдотье дожидать вас, потому как видел, что кучер Луковкина назад приехал, а Семена Гаврилыча известная повадка... Ну, и поджидал вас, а уж вы этак часу во втором обратились и, можно сказать, весьма грузны. Только вы напрасно беспокоитесь, Павел Иваныч... Никто не осудит, потому что от Семена Гаврилыча жив человек не уйдет.

Две бутылки сельтерской и нашатырный спирт достигли своей цели, и через четверть часа Кочетов ехал к пациенту, удивляясь изящному экипажу на лежащих рессорах и великолепной серой лошади. Бородастый кучер с шиком подкатил его к двухэтажному дому. Застоявшаяся лошадь так и шарахнулась у подъезда всеми четырьмя ногами. На звонок выскочила такая же краснощекая горничная, как у Семена Гаврилыча, и молча повела его во второй этаж. В зале, убранной с трактирной роскошью, как и у Семена Гаврилыча, видимо, дожидалась его сама хозяйка дома — высокая молодая дама в черном шелковом платье.

— Извините, что я так бесцеремонно решилась побеспокоить вас, доктор... — проговорил знакомый женский голос, и Кочетов только сейчас узнал в этой жене больного мужа вчерашнюю Пашеньку.

— Помилуйте, это мой долг... Виноват, я не знаю, как вас зовут?..

— Прасковья Гавриловна...

Однако как женщины умеют меняться вместе с обстановкой: эта Прасковья Гаври-

ловна совсем не походила на вчерашнюю Пашеньку — лицо строгое, манеры сдержанные, одним словом, настоящая римская матрона. Впрочем, болезнь мужа могла повлиять.

— Вы мне позволите, Прасковья Гавриловна, познакомиться с вашим больным?..

Она знаком пригласила его следовать за собой. Прошли гостиную с коврами, тяжелыми драпировками и шелковой мебелью, потом столовую и наконец остановились у дверей спальни или кабинета — трудно было разобраться издали. Оказался кабинет и довольно плохой, сравнительно с обстановкой других комнат. На клеенчатом диване, разметав руки, лежал и больной, еще молодой господин в расшитом шелками халате.

— Ефим Назарыч... — недовольно, строгим голосом окликнула она. — Доктор приехал.

Больной повернул к ним свое опухшее бледное лицо, сделал какой-то жест трясущейся рукой и прохрипел:

— Пашенька, ррю-умочку...

Двух минут было совершенно достаточно, чтобы сделать самый неопровержимый диагноз: у Ефима Назарыча был delirium tremens

[357].

— Вы доктор, што ли? — спрашивал больной, когда хозяйка, не ответив, вышла из комнаты.

— Да, я...

— Так вот что... Вон в углу, где этажерка... поймайте его, пожалуйста!.. Да по ногам... Пашенька, ррю-умочку!..

«Хорош больной...» — думал про себя Кочетов, наскоро набрасывая рецепт.

Вернувшись в гостиную, Кочетов нашел там хозяйку в обществе Семена Гаврилыча. Они о чем-то таинственно советовались, и появление доктора заставило хозяйку быстро выдернуть свою руку, которую Семен Гаврилыч держал обеими руками.

— Ну, что, как вы, милейший доктор, нашли больного?.. — осведомился Семен Гаврилыч. — Месяца три чертил... что ни день, то и полведра мадеры. Конечно, сильный человек, здоровый, но все-таки... А я за вами завернул, Павел Иваныч: поедемте в ремесленную управу.

— Нет, благодарю вас... Мне вот необходимо принять некоторые меры с больным.

— А Пашенька на что? Вы ей скажите только, а сестрица уж все сделает... Ведь не в первый раз отваживаться-то ей с своим сокровищем!.. Кстати, там переговорим с вами и о деле. Больничку новую строим, так нужно смету проверить, потом... да мало ли у нас дела наберется!

От такого приглашения трудно было отказаться, да и Прасковья Гавриловна больше не удерживала. Она внимательно выслушала его советы, ласково пожала руку и не без ловкости сунула конверт с подаянием. Семен Гаврилыч сделал вид, что занят приставшей к сюртуку пушинкой, и усердно скоблил ее ногтем.

Глава 4

Уездный городишко Пропадинск, заброшенный в черноземную равнину, граничившуюся с бесконечной киргизской степью, или ордой на местном жаргоне, принадлежал к числу разорявшихся русских городов. Сравнительно еще недавно он пользовался громкой популярностью: купцы и счету не знали своим деньгам, а пропадинские богатые невесты вошли в поговорку. Но как история богат-

ства, так и пропадинской бедности не отличалась большой сложностью. Расположенный в центре черноземной полосы, Пропадинск служил долгое время главным хлебным) рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули вверх дном. Открылись новые хлебные рынки, а пропадинские толстосумы оказались малыми ребятами перед надвигавшейся бог знает откуда грозой — счет шел уже не на десятки и сотни тысяч рублей, а прямо на миллионы. Сильные капиталы давили пропадинских толстосумов беспощадно, а открывшиеся банки и легкий кредит дополняли картину разорения. К этому нужно прибавить еще то, что пропадинские коммерсанты как-то остались в стороне от общего промышленного движения и вели свои дела по старинке, что их и доконало. Город кое-как влачил свое жалкое существование, а последние представители захудавшего купечества проедали последние гроши и пускались на разные художества.

Попавши в эту разлагавшуюся среду, Кочетов быстро освоился с ней и незаметно для самого себя втянулся в окружающую обстанов-

ку. День за днем, неделя за неделей — время тянулось само собой, а с ним прививались и новые привычки. Работы было немного. Городская больница все еще строилась. Богатые пациенты приглашали только за тем, чтобы поболтать с доктором и вместе выпить рюмку водки.

Чаще других ему приходилось бывать у Бубновых. Здесь было какое-то царство мадеры, и «сам» не успевал поправиться от одного запоя, как сейчас же переходил к следующему номеру. Это было что-то ужасное. Дрянная пропадинская мадера выпивалась прямо четвертями. Молва гласила, что Семен Гаврилыч нарочно спаивает зятя, и указывала на его братские поцелуи с Пашенькой. У Бубнова был еще капитал, но не было никого из близкой родни, и в этом видели тонкую политику градского головы. В маленьких провинциальных захолустьях известно все и про всех, хотя Кочетов, бывая в бубновском доме чуть не каждый день, не мог бы сказать ни да, ни нет. Сначала он явился по приглашению, а потом, освоившись с захолустными приличиями, ехал так, чтобы убить время. Вечером пропа-

динцы просто ездили «на огонек» — увидят в окне свет, значит, кто-нибудь есть дома, а если есть кто-нибудь дома, то должна быть и мадера.

У Кочетова была более уважительная причина; он немного ухаживал за Прасковьей Гавриловной, которая ему, чем дальше, тем больше нравилась. Сначала он принял ее за податливую бабенку, бесившуюся с жира, и рассчитывал на легкий успех: нужно же чем-нибудь развлекаться, когда нет ни театра, ни клуба. Но, присмотревшись ближе, он должен был переменить свое заключение. Прасковья Гавриловна была любезна с ним и часто подавала некоторые шаловливые поводы, но провертывались моменты, когда она с таким удивлением смотрела на Кочетова и обдавала его таким холодом, что оставалось только благоразумно уходить подальше.

— Я вас не понимаю, — говорил он ей однажды в припадке откровенности. — В вас две женщины, Прасковья Гавриловна: одна ласковая, веселая, а другая холодная и даже суровая. Я вас иногда просто боюсь... А главное, никогда нельзя за вас поручиться.

— Пустяки вы говорите, доктор: все наши пропадинские купчихи одинаковы. Только по шляпкам и можно различить...

— Я не говорю про других, а про вас...

— Перестаньте, пожалуйста...

В Прасковье Гавриловне была еще третья женщина, которой Кочетов и не подозревал: она собственноручно вела все своя торговые дела и вела очень недурно. Вынесенный в приданое капитал увеличивался, и Прасковья Гавриловна делала близким людям ссуды под двойные векселя и жидовские проценты. Целовавший ее братец был у нее по уши в долгу. Замуж она была выдана стариком-отцом против своей воли, никогда не любила мужа и по временам потихоньку от всех утешалась той же мадерой. Последнее знал только один Семен Гаврилыч и по-своему пользовался этой слабостью.

— Отчего вы не женитесь на Седелкиной? — спрашивала иногда доктора Прасковья Гавриловна и задумчиво смотрела ему прямо в глаза таким странным взглядом, очевидно, думая о другом.

Старик Седелкин был тот миллионер, кото-

рый все искал подходящего жениха своей дочери.

— Неподходящее дело, — коротко объяснил Кочетов. — Она богата, а я беден. Что же из этого может выйти?.. Притом она совсем мне не нравится...

— У нас всегда женятся на богатых невестах и даже издалека приезжают за этим. А что у вас денег нет, так, по-моему, таким людям и нужно жениться на богатых. Хотите, я посватаю вам?..

— Вы меня дразните, Прасковья Гавриловна?..

— Нисколько! От чистого сердца...

— В таком случае, мы совсем не понимаем друг друга...

— Очень может быть... Я неученая и едва умею подписать свою фамилию, и то братец три года учил.

— Неужели вам приятно было бы видеть меня мужем Седелкиной?.. Теперь я бедный человек, но все-таки совершенно независимый, а тогда...

— Ах, какой вы странный!.. Да ведь нужно же когда-нибудь жениться, а не все ли равно

на ком...

— Нет, не все равно... Видите ли, я немножко поздно явился к вам в Пропадинск, а если бы приехал пораньше, тогда, может быть, и женился бы на богатой невесте, но только не из-за денег.

— Это вы про меня, что ли? — как-то по-детски просто удивлялась Прасковья Гавриловна и так хорошо смеялась, а потом с кокетством горничной прибавила: — Я не верю мужчинам.

По вечерам в большом бубновском доме было так хорошо! Везде цветы, мягкая мебель, много света и вообще какого-то уюта. Нужда еще долго не постучит в резную дубовую дверь подъезда, а Прасковья Гавриловна так и состарится среди окружающего ее тупого купеческого довольства. Ее огорчало только то, что не было детей. Часто по вечерам, когда Прасковья Гавриловна сидела в гостиной на диване с какой-нибудь дамской работой в руках, доктор читал ей что-нибудь или рассказывал. Она умела слушать, и ему нравилось, как звуки его собственного голоса отчетливо раздаются под высоким потолком.

Просыпалась какая-то буржуазная зависть к этому комфорту и беззаботному существованию, но Кочетов вовремя вспоминал о своей бедности и уличал самого себя в грехопадении.

— А как вы думаете, доктор: долго еще протянет мой муж? — спросила однажды Прасковья Гавриловна, когда они таким образом сидели в гостиной.

— Не думаю, чтобы долго, если он не бросит свою мадеру...

У Прасковьи Гавриловны этот ответ вызвал на глазах слезы, и она низко наклонимтесь над своей глупой работой. О чем она плакала? Неужели о муже, которого не любила, или о своей молодой жизни, не видавшей ни одного солнечного дня? Вообще, какая-то загадочная натура, — думал про себя Кочетов, как все бесхарактерные люди, не выносивший женских слез.

Такие tete-a-tete удавались не часто. Обыкновенно являлся или сам Бубнов или Семен Гаврилыч, а с ними — и бесконечная мадера. Бубнов трезвый был несчастным человеком — одутловатый, с нездоровым цветом ли-

ца и с удушливым кашлем, он молча ходил из угла в угол и похрустывал холодными, влажными пальцами. В период запоя он буйствовал, как чумной бык, и его обыкновенно связывали. Кочетов пробовал было уходить от мадеры, но это ни к чему не вело.

— Э, батенька, от нас не уйдешь, — фамильярно объяснял Семен Гаврилыч, прищуривая глаза. — Возьму да сам приеду к тебе в гости, а без мадеры какой же я человек...

— А я не буду вас угощать...

— А я с собой привезу... Нет, у нас, голубчик, все попросту!

От Семена Гаврилыча все-таки еще можно было отвязаться разными правдами и неправдами, но было хуже, когда принималась угощать сама Прасковья Гавриловна. Она это делала с такой милой настойчивостью и так ласково смотрела прямо в глаза, что у Кочетова не было сил отказаться.

— Пашенька, пригубь, а го он может подумать, что мадера с отравой... — хохотал Семен Гаврилыч, довольный этой комедией.

Прасковья Гавриловна не заставляла себя просить, наливала себе маленькую рюмочку,

отпивала крошечный глоточек и с улыбкой смотрела на доктора.

— Вот у нас как!.. — повторял довольный Семен Гаврилыч и опять целовал сестру в губы. — Ай-да сестрица… люблю!

Редкий день проходил без того, чтобы Кочетов не являлся домой немного навеселе. Сначала он стеснялся в таком виде показываться перед Яковом Григорьичем или перед Авдотьей, но потом это неловкое чувство прошло само собой. Лицо у доктора заметно пополнело, появился даже румянец какого-то кирпичного цвета и пришлось переделывать платье.

— У нас уж климат такой, — добродушно объяснял Яков Григорьич, тоже ходивший вечно с мухой. — Поживет человек, и сейчас в нем полнота начнется…

— Это от мадеры, Яков Григорьич.

Глава 5

Бубнову делалось все хуже, и Кочетову приходилось дежурить у него по целым дням. Развивалась водянка. Печень была увеличена, как у всех пьяниц.

— Ведь мне всего двадцать восемь лет… —

простонал однажды Бубнов, с каким-то отчаянием глядя на доктора. — А какое здоровье-то было: подковы ломал.

— А давно вы начали пить?..

— Да не помню хорошенько... После женитьбы постарался.

Кочетов заметил, что больной боится жены, и просил ее не ходить в его комнату. С ним делалось дурно, когда в соседней комнате шуршали легкие шаги. Чтобы скрыть свое волнение, он притворялся спящим и лежал с закрытыми глазами все время, пока Прасковья Гавриловна сидела в кабинете.

По конвульсиям дрожавших рук Кочетов знал, что Бубнов не спит, но не выдавал его. А как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый, трупный цвет, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, и больной кусал губы, чтобы не выдать своих мук.

Теперь он просил мадеры одними глазами, в которых застывало какое-то животное отчаяние.

В январе Бубнов уже лежал вплотную, а в феврале он умер. Смерть даже пустого и нико-

му не нужного человека имеет в себе что-то внушительное, что невольно заставляет задумываться. Глядя на холодевший труп своего пациента, Кочетов думал о том, что неужели вот этот купец Бубнов родился на свет только для того, чтобы выпить несколько бочек мадеры? Нет, это ужасно... Ведь был он ребенок, его ласкала любящая материнская рука, потом] он вырос такой сильный и красивый, встретился с Прасковьей Гавриловной, а там уж пошла сплошная мадера, мадера без конца... Ведь думал же о чем-нибудь этот странный человек, что-нибудь чувствовал и желал? Может быть, в мадере он топил свое одинокое горе, которого не мог или не хотел ни с кем делить...

Купеческие похороны со всем их безобразием служили только логическим заключением безобразной жизни. Конечно, явился «весь Пропадинск», пивший чай в ремесленной управе и отсюда делавший каждый день обход по знакомым — сегодня у Семена Гаврилыча легкая закуска, завтра у Нагибина, послезавтра у Голяшкина или Огибенина, а там экстраординарные случаи для усиленной

выпивки — именины, родины, крестины, похороны, годовые праздники и даже юбилеи. Это было что-то ужасное, роковой круг, из которого трудно было вырваться. Бубнов умер раньше других, потому что был сильнее и мог больше злоупотреблять. Заливался хор соборных певчих, соборный протопоп сказал на свежей могиле небольшое слово на тему, что все люди смертны и есть вечная жизнь, а потом все закончилось уже похоронной мадерой.

— Пашенька, не плачь... — говорил Семен Гаврилыч, утешая сестру с обычной фамильярностью. — Слезами не воскресишь человека, ежели он прошел свой предел.

Три Иванова и два Поповых повторяли то же самое с некоторыми вариациями. Кочетову было гадко, и вместе с тем он не мог не заметить, что траурный костюм очень шел к Прасковье Гавриловне, черной рамкой выделяя ее молодую, полную сил красоту. Конечно, на похоронах так думать не совсем прилично, и Кочетов все пил мадеру, чтобы забыться от какого-то сумбура, который начинал его давить. Жизнь — глупая вещь.

— Ведь вот жил-жил человек, а потом взял да и умер, — со вздохом говорил старик Седелкин, преследовавший доктора своим вниманием.

— Жил долго, а умер скоро, — глубокомысленно вторил председатель земской управы.

Накатывалось что-то вроде раздумья на этих бесшабашных людей, но и этот пробел заливался мадерой. Семен Гаврилыч разыгрывал роль хозяина и с каким-то цинизмом повторял:

— Господа, помянемте покойника мадерцей... Все там будем! Не правда ли, отец дьякон?.. У нас все попросту: был человек — и нет его... А Ефим Назарыч уважал весьма мадерцу.

С похорон Кочетов вернулся домой совершенно пьяный, и Яков Григорьич бережно уложил его в постель. Старик вполне сочувствовал квартиранту, потому что нужно же было помянуть покойника... Даже и он, поджидая квартиранта, перепустил лишнюю рюмочку: тоже жаль человека. Бывало, идет по улице Бубнов, весь в бобрах, а увидит старика — и поклонится. Обходительный был чело-

век, нечего сказать.

Когда на другой день утром доктор проснулся с отчаянной головной болью, Яков Григорьич завернул к нему поправиться вместе — поправились очищенной.

— Она, очищенная эта самая, отлично расшибает кровь, — тоном специалиста объяснял старик, нюхая корочку черного хлеба.

— Расшибает?..

— Так точно-с... От мадеры кровь, например, сгущается, и выходит зловредная вещь. Да-с... Вы как думаете, Семен-то Гаврилыч пьет? Он, например, пьет наряду с другими и дойдет до своего градуса, значит, в полную меру... Хорошо-с. А на другой день, хоть сегодня взять, вас ломает и кочевряжит, как Мазепу, а он, Семен-то Гаврилыч, как стеклышко. Это как, по-вашему?

— Не знаю... Железное здоровье такое.

— А Бубнов-то плох был? Двумя четырехпудовыми гирями крестился.

Оглянувшись со свойственной ему осторожностью, Яков Григорьич шепотом сообщил:

— Все дело в насосе, Павел Иваныч.....

— В каком насосе?..

— А в Нижнем был Семен-то Гаврилыч, ну там эту самую штучку и приобрел... Весьма даже оно любопытно: как напился до своего градуса, начало его мутить, он, значит, Семен Гаврилыч, насос себе в пасть и запустит, да все и выкачает оттеда, а завтра, как встрепанный. Неужели не слыхали?

— Нет...

— По-моему, это нехорошо и даже весьма нехорошо... Вон покойному Бубнову предлагали, так он всю машину изломал у Семена Гаврилыча, потому как я, говорит, не хочу быть скотиной. Нет, это уже что же, Павел Иваныч? И вы не поддавайтесь Семену-то Гаврилычу, ежели он к вам тоже с машинкой со своей подсыплется... Лучше уж, по-моему, в закон вступить: другого это весьма поддерживает.

— Жениться?

Переход от насоса к женитьбе был сделан так быстро и неожиданно, что Кочетов хохотал, как сумасшедший. Вот так логика!..

Мысль о женитьбе заставляла Кочетова задумываться серьезно, хотя он и не имел ника-

ких серьезных намерений в этом направлении.

Вот уже скоро год, как он прозябает в Пропадинске, по что из этого вышло? Своим делом он занимался спустя рукава, потому что больница все еще строилась, а практика была ничтожна. Нужно купить книг и засесть дома. Но, с другой стороны, свободного времени у него почти не было: туда да сюда, глядишь, день и прошел. Потом эти вечные выпивки... Попивал он и студентом, но тогда это делалось просто с голода, а теперь не могло быть даже и этого оправдания. Да, он незаметно втянулся в эти выпивки и, презирая окружавших его пьяниц, уже испытывал непреодолимую потребность в известный час выпить: сначала перед завтраком, потом перед обедом, а потом и так, за здорово живешь, где случится. Иногда он завертывал и «на огонек», как это делали все. Но часто, возвратившись домой, Кочетов предавался глубокому раскаянию и давал себе слово бросить все завтра же. Действительно проходило дня два и даже три, а потом незаметно повторялась старая история.

— Господа, Павел Иваныч у нас не пьет... — подшучивал Семен Гаврилыч при каждом удобном случае. — Значит, мы все горькие пьяницы, и больше ничего.

Все это было слишком глупо, но у Кочетова недоставало выдержки, и он, рассердившись, делал какую-нибудь глупость.

«Жениться для того, чтобы не спиться, — думал он иногда в минуты раскаяния. — Что же это такое: обманывать самого себя?.. Нет, это уж совсем глупо. Больше: нечестно...»

Оставался еще другой выход: уехать из Пропадинска при первой возможности. Кочетов и остановился на этой спасительной мысли. В самом деле, уехать, и дело с концом. Всякая мадера останется в Пропадинске, а он, Кочетов, начнет жить снова... Как это хорошо. Больные думают так же, точно можно уехать от своей болезни.

Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Кочетов написал кое-кому из старых знакомых, не найдется ли ему где-нибудь места не в такой глуши, как Пропадинск. Одному старому товарищу он даже откровенно исповедался относительно истинных причин

такого желания, и это значительно его облегчило.

Он стал смотреть на свое существование в Пропадинске, как на что-то временное, и на этом совершенно успокоился.

«Вот удивится Семен Гаврилыч, когда я к нему заявлюсь с последним визитом! — с улыбкой думал Кочетов, представляя себе удивленное лицо градского головы. — «Как? куда? зачем?.. Не хотите ли, Павел Иваныч, мадерцы»... Ха-ха!..»

Глава 6

По-прежнему заходить к Прасковье Гавриловне теперь было неудобно. Она хотя и носила траур, но провинциальная сплетня не знает пощады. Да и сама Пашенька в последнее время как-то перестала нравиться Кочетову. В ней было что-то такое отталкивающее и неприятное, хотя по наружности она оставалась прежней завидной красавицей.

— Вы что же это меня забыли, Павел Иваныч? — ласково пеняла она, встретив доктора у Семена Гаврилыча. — Завернули бы когда-нибудь поболтать...

— Не знаю... я постараюсь...

— Вы знаете, что за вдовушками всегда ухаживают...

Эта шутка вышла уж совсем неловко, да она была, по меньшей мере, неуместна. Но доктор вспомнил, что он скоро уедет из Пропадинска, и решил возобновить знакомство. Прасковья Гавриловна встретила его как старого друга и пожаловалась на скуку. Зеркала везде были затянуты кисеей, и веяло заметной пустотой.

— Когда я остаюсь одна в этих комнатах, — говорила хозяйка, занимая гостя, — мне делается даже страшно... Слышатся какие-то шаги, какой-то стук, и я по ночам не тушу огня в своей спальне. Вы не можете понять этого чувства, потому что для вас, как холостого человека, все трын-трава.

«Ну, теперь начнется опять разговор о женитьбе...» — невольно подумал Кочетов, не, вспомнив про свой отъезд, проговорил с большой развязностью, удивившей его самого:

— А я, Прасковья Гавриловна, надумал жениться... Говорю совершенно серьезно!..

Прасковья Гавриловна пытливо посмотрела своими большими глазами прямо ему в

лицо и только покачала головой.

— Уверяю вас, Прасковья Гавриловна. Вы не верите?..

— Вы шутите. Вижу по лицу.

— Нисколько. Я даже хотел обратиться к вам за советом, Прасковья Гавриловна, тем более, что вы сами еще недавно предлагали мне.

Эта мистификация забавляла Кочетова, и он продолжал разговор в этом направлении, стараясь подзадорить бабью страстишку устраивать счастливые браки. К его удивлению, Прасковья Гавриловна туго поддавалась и не шла на закинутую удочку.

— Нынешние женихи только на языке, — заметила она на прощание. — И так изживете век: разве не стало нашего брата, баб?..

Встречаясь с Прасковьей Гавриловной, Кочетов каждый раз старался заводить этот разговор, который ее заметно волновал и даже сердил. Она так хорошо сердилась: глаза темнели, губы надувались, на белом низком лбу всплывала такая хорошенькая морщинка.

— Да вы серьезно, что ли? — спросила она однажды и заалелась еще сильнее, точно он

сватался за нее.

— Серьезно. Я уж решился жениться на этой Акулине Седелкиной.

— Не Акулина, а Марья...

— Виноват: действительно, Марья... Это очень красивое имя: Маня, Манечка. Не правда ли? Кстати, вы позволите мне зайти для окончательных переговоров по этому поводу?

— Послушайте, вы смеетесь надо мной, как над дурой!..

— Прасковья Гавриловна...

— Ничего и слушать не хочу. Вы противный человек, а я считала вас гораздо лучше.

— Я постараюсь исправиться. Знаете поговорку: женится — переменится...

— Вы насмешник!

Под предлогом серьезно поговорить о деле, доктор начал бывать в бубновском доме почти каждый день и раза два совсем вывел хозяйку из себя. Эта шутка ему нравилась. Раз, заявившись в белом галстуке и свежих перчатках, Кочетов весело заявил:

— Ну-с, я заехал за вами, дорогая Прасковья Гавриловна.

— Это еще что за новость?

— Вы обещали съездить со мной к невесте. Одному как-то, знаете, неловко, да и старик Седелкин... Ну, одним словом, о чем я буду с ним разговаривать? А если вы займете его, тогда уж я переговорю с невестой...

— Вам следует сделать визит сначала одному, Павел Иванович, — серьезно ответила Прасковья Гавриловна, сдвигая свои соболиные брови.

— Ах, помилуйте, что за глупые церемонии! Лучше все попросту устроить. Да и Марью Семеновну я встречал у вас же, а старика Седелкина каждый день встречаю в управе.

— Я пойду одеваться?.. — нерешительно проговорила Прасковья Гавриловна.

— Пожалуйста.

Эта комедия незаметно начала нравиться Кочетову тем, что сближала его с Прасковьей Гавриловной, как всякие любительские спектакли. Он в качестве жениха смело садился теперь рядом с ней на диван, брал ее за руку и позволял самые интимные темы. Когда из своей комнаты Прасковья Гавриловна показалась в тяжелом шелковом платье, Кочетов подбежал к ней и горячо поцеловал руку. Нет,

решительно, получалась пресмешная комедия... Когда поехали к Седелкиным, Кочетов смело обнял свою даму за талию и только улыбнулся, когда она на него взглянула удивленными глазами и сделала слабое усилие освободить талию из крепко охватившей ее руки.

Седелкины были дома. Они жили по-старинному, на купеческую руку. Каменный дом делился на две половины; парадная большая половина стояла всегда пустой, и хозяева жались в двух маленьких комнатках где-то около кухни. Появление нежданных гостей взбудоражило это тугое гнездо до основания. Старик выбежал навстречу, торопливо застегивая засаленный длиннополый сюртук, а Марья Семеновна показалась только потом. Девушка, видимо, торопилась одеваться и вышла к гостям с взволнованным лицом. Она не была красива, но свежая миловидность заменяла красоту.

Прасковья Гавриловна повела дело с уверенностью настоящей свахи и раза два принималась горячо целовать конфузившуюся девушку.

— У меня все поясница к ненастью отзывается... — говорил старик, стараясь попасть в тон будущему зятю-доктору. — Конечно, мои года уже не маленькие, да и своя забота везде.

— А вам нужно какого-нибудь молодого человека, — вмешалась Прасковья Гавриловна, — вот и будет замена... У вас и в комнатах перестало жилым пахнуть, Семен Игнатьич.

Кочетов, улыбаясь про себя, старался в тонкости разыграть заправского, всамделишнего жениха и с удовольствием чувствовал на себе боязливый взгляд невесты. Она так мило опускала глазки, когда он смотрел на нее, а когда он подошел к ней и заговорил какие-то пустяки, у бедняжки даже дрожали руки. «Нет, уж я, кажется, того, слишком разгулялся...» — подумал Кочетов, и в нем проснулось совестливое хорошее чувство. Зачем он ломается над этим стариком и его дочерью?.. Он живо представил себе те чувства и мысли, которые переживали они сейчас, и сделал глазами знак своей свахе, что пора убираться восвояси.

— Милости просим в другой раз... — приглашал старик, и эти простые слова стояли в

ушах Кочетова всю дорогу, как живой упрек в шалопайстве.

— Что, понравилась вам невеста? — спрашивала Прасковья Гавриловна, переживая то свадебное волнение, из-за которого такие женщины лезут устраивать чужие свадьбы.

— Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», — ответил Кочетов, притягивая сваху за талию совсем близко к себе — вы будете моей посаженой матерью... А во-вторых, я сегодня хочу мадеры, чтобы вспрыснуть хорошее дело!

Прасковья Гавриловна ничего не ответила и бойко вбежала по лестнице своего дома, так что Кочетов, поднимавшийся за ней, мог любоваться ее белыми юбками и шелковыми модными чулками, так соблазнительно охватывавшими точно выточенную ногу.

В передней, помогая раздеваться свахе, он прямо обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками прятались отделявшиеся короткие прядки волос. Прасковья Гавриловна кокетливо ударила его по рукам и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«Э, да и посаженая маменька недурна...» — думал Кочетов, расхаживая в гостиной в ожидании мадеры и припоминая шелковые чулки.

— Вот что, посаженый сынок, ты порядочный повеса, — заговорила Прасковья Гавриловна, возвращаясь с бутылкой и рюмками. — Я думала о тебе гораздо лучше!..

— Мамынька, исправлюсь...

По возбужденному лицу Прасковьи Гавриловны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на гостя. Это оживление заразительно подействовало на Кочетова, и он разом выпил две рюмки.

— Ну, так что же, как невеста? — спрашивала Прасковья Гавриловна, глядя на Кочетова влажными глазами с расширившимся зрачком. — Славная девочка, право... Дом — полная чаша.

— Мне на эти пустяки наплевать, а главное — сколько старик дает за ней денег, — продолжал Кочетов свою комедию. — Будемте говорить серьезно, мамынька. Деньги — первая вещь, а уговор на берегу...

— Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил?

Теперь, видно, за ум хватился... Семен Игнатьич дает за дочерью пятьдесят тысяч, а после своей смерти остальное.

— А нельзя ли до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Гавриловна откинулась на спинку кресла и посмотрела на Кочетова улыбавшимися глазами. Потом она налила себе рюмку мадеры и залпом выпила ее, поперхнулась и так смешно закашлялась. Кочетов ходил по гостиной, пил рюмку за рюмкой и дурачился все время, как школьник.

В окна смотрела душистая, летняя ночь. В Пропадинске хороши такие ночи. Из садика под окнами несло ароматом левкоев и резеды.

— Мне жарко! — проговорила Прасковья Гавриловна, стараясь не смотреть на жениха. — А вы, Павел Иваныч, большой повеса, и вот от вас-то я не ожидала ничего подобного.

Яков Григорьич долго и напрасно ждал своего квартиранта, подкрепляя свои слабеющие силы новой рюмочкой очищенной. Он так и заснул у отворенного окна, а Кочетов вернулся только утром, когда на соборе уда-

рили к поздней обедне.

Осенью, ровно через год после своего приезда в Пропадинск, Кочетов женился на Прасковье Гавриловне.

Глава 7

В последствии Кочетов часто спрашивал самого себя, как он женился и зачем: бессмысленный чувственный порыв, безделье, легкомыслие — и вот результаты всего этого. В довершение всего он утешался тогда пошлой фразой, что «должен так поступить, как честный человек». Разве честные люди могут разыгрывать такие пошлости? У него было одно богатство: полная свобода, — но и это преимущество он оценил только теперь, как больные ценят свое потерянное здоровье.

Молодые жили в бубновском доме, который принадлежал, как оказалось, Прасковье Гавриловне, а не мужу. Этот богатый дом давил теперь Кочетова, как тюрьма, нет, хуже в тысячу раз. Все в этом доме, до малейших пустяков кричало ему, что он здесь чужой и что он занял место другого. Мебель, посуда, ковры и стены были свидетелями чужого счастья, может быть, короткого счастья, но все-таки

счастья, а для него все это является свидетелем позора. Прасковья Гавриловна не постеснялась даже отвести ему тот же самый кабинет, где жил и умер Бубнов. Она даже не понимала, что это может его тяготить, и с удивлением спросила:

— Вам разве не нравится эта комната, Павел Иваныч?

Они были на «вы» с первого дня свадьбы, потому что Кочетов не мог называть жену теми же полуименами, как первый муж или братец Семен Гаврилыч. Да, с первого дня свадьбы дело у них как-то не пошло на лад, и виной была она, а не он. По крайней мере, он был в этом уверен, припоминая ту холодность и сдержанное презрение, с каким она к нему относилась.

— Вы меня не любите, Прасковья Гавриловна, зачем же в таком случае вы выходили за меня замуж?

— Для меня это простой практический расчет, а вот вы-то зачем женились на женщине, которую даже не могли любить?..

Она была, к несчастью, умна и зла. Даже, пожалуй, и не зла, а бывают такие особенные

властные характеры, которые требуют покорности всего окружающего, включая сюда и неодушевленные предметы. Не будь она богата, Кочетов, может быть, и помирился бы с этим; но теперь его бесило и унижало; что же, он разве содержанка какая или продавал себя?.. Нет, извините, Прасковья Гавриловна, не на того напали... Чуть не каждый день происходили самые жаркие схватки. Каждый считал себя правым и во всем обвинял другого. Но Прасковья Гавриловна оказывалась настойчивее и выдерживала характер дольше. За нее были и знакомые, и вся прислуга, и даже общественное пропадинское мнение, то есть городские сплетни.

Выходя на улицу, Кочетов чувствовал, что на него указывали пальцами и шептались за его спиной. Он даже получил специальную кличку: «бубновский зять». Нечего сказать, отличная кличка... Конечно, могут сказать про всякого, что угодно, а важно то, чтобы совесть была спокойна, и Кочетов дал себе честное слово никогда не брать ни одного гроша от Прасковьи Гавриловны и решительно ничем не обязываться перед ней. Если она что

делала для себя, он умывал руки.

— Мы к этому непривычны... — говорила она ему на своем горничном жаргоне, если он советовал ей сократить какую-нибудь статью ненужных расходов.

Как это он раньше не замечал, что она говорит совсем как судомойка или горничная и вообще самая дурацкая купчиха, каких только производил белый свет?

Когда Кочетову делалось уж очень тяжело, он отправлялся к своему бывшему хозяину квартиры Якову Григорьичу, который встречал его, как родного. В самом деле, перебирая своих пропадинских знакомых, Кочетов не имел ни одного близкого человека. А у Якова Григорьича было так хорошо всегда: не богато и не бедно, а середина наполовину. Даже та бедная комнатка, которую занимал Кочетов и которой стеснялся перед богатыми знакомыми, теперь так нравилась ему, и он чувствовал себя легче под низким, беленным известкой потолком.

— Что же это вы ко мне никогда не завернете, Яков Григорьич? — выговаривал доктор старику.

— А собираюсь, каждый день собираюсь, Павел Иваныч. Да все как-то недосужится: то то, то это. Хотя маленькие, а свои делишки гонoшим.

Конечно, дело было не в этом, а просто старик стеснялся и раз сам проговорился:

— Уж я вам, Павел Иваныч, всю правду-матку скажу: все не могу я насмелиться... Два раза даже подходил к крыльцу, ей-богу, а как увижу эти ваши звонки да резные двери, меня точно ошибет что. И то думается, что люди мы простые, ни стать, ни сесть не умеем, а еще, пожалуй, и вас сконфузишь на людях-то.

— Что вы, Яков Григорьич! Как вам не совестно!

— Нет, уж оно так, Павел Иваныч. Вы, конечно, от своей доброты так меня привечаете, а я свое понятие держу. Все-таки заверну как ни на есть: трахмальную рубаху надену, сапоги со скрипом... хе-хе!

В сущности, старик был прав. Кочетов понимал то, чего он недоговаривал, и должен был согласиться с ним. Он сам бежал от своего богатства, а чужого человека приглашает.

Раз, когда они таким образом сидели и мирно беседовали, Яков Григорьич хлопнул рукой по колену и проговорил:

— А знаете, отчего Ефим-то Назарыч в землю ушел?..

— Какой Ефим Назарыч?

— Ну, значит, Бубнов. Конечно, по глупости и молодым он сильно испивал, — по купеческому званию бывает эта самая глупость, хорошо-с, а как женился — и остепенился. Другой человек-с... Жена — красавица, дом — полная чаша: чего хочешь, того просишь. Только этак прошло годика два — три, ему в голову и пади мысль, то есть оно опять глупость, ежели так со стороны глядеть. Совершенная даже глупость. Сами знаете, какой характер обязательный у Семена-то Гаврилыча: увидит Прасковью Гавриловну и сейчас: «Пашенька, сестрица», — и прямо ее в губы целовать. Оно, конечно, брат, ежели так рассуждать, это даже и законом не воспрещается... да-с. А только Семен-то Гаврилыч сегодня в губы Пашеньку, завтра в губы, а люди-то, которые посторонние, значит, они уж свое примечают... Худого сказать нечего, а уж целый

разговор выходит... С этого с самого Ефим-то Назарыч и заскучал, а потом в мадеру свою ударился. Оно и пошло и пошло...

Увлекшись своими стариковскими воспоминаниями, Яков Григорьич только теперь взглянул на молчавшего доктора, да так и остался с раскрытым ртом: Кочетов сидел бледный, как полотно, и смотрел на рассказчика такими страшными и остановившимися глазами...

— То есть я-то сам этого, конечно, не видал, а так люди болтают, — виновато пробормотал старик, желая поправиться. — Оно, конечно, пустяки, и я первый скажу, что ни капельки в этом правды нет.

— Конечно, все врут, — поддакнул доктор с какой-то странной улыбкой.

— Все врут. Ей-богу, все врут!.. — уже божился Яков Григорьич.

Доктор выпил рюмку водки, попрощался и ушел, а Яков Григорьич, оставшись один, посмотрел кругом, пожевал губами, хлопнул себя по колену и проговорил:

— Вот так хлопнул, старый дурак, а?.. Вот так убил бобра, а?.. Что же это я намолол?..

Ведь это называется без ножа зарезать живого человека. Совсем из башки даже выкатилось, что Пашенька теперь в дохтурши попала. Вот до чего доводит человека треклятый язык!

Действительно, болтовня старика ошеломила Кочетова, точно его ударили обухом по голове. Да, теперь все ясно, решительно все. Вот где секрет преждевременной смерти Ефима Назарыча. «Пашенька, сестрица... У нас все попросту!» Совершенно ясно: сегодня в губы сестрицу, завтра в губы... Нельзя же было Ефиму Назарычу ревновать жену к родному брату? Это было похуже «бубновского зятя». Кочетов отлично себе представлял эти ревнивые думы, это одиночество, потому что нельзя было показать глаз в люди... Может быть, Ефим Назарыч тайно следил за женой и сам же мучился своим шпионством. Да, вот одинокое бешенство, которое овладевало им, когда раздавались в доме шаги Семена Гаврилыча, его болтовня и жирный купеческий смех. А когда жена уезжала из дому, какая тоска надвигалась сюда, вот в эти самые комнаты, где Ефим Назарыч переживал свой по-

зор!.. Вот отчего он стал бояться появления жены и притворялся спящим: он боялся не ее, а собственного позора, который она вносила с собой!

«Впрочем, это я так думаю, а в действительности ничего подобного, вероятно, никогда и не было, — думал Кочетов, хватаясь за голову. — Конечно, все это я сам придумал, а Бубнов пил свою мадеру — и вся тут психология».

Кочетов чувствовал, что у него точно что захлопнуло на душе. Ему противно было показываться в люди, а когда приезжал Семен Гаврилыч, он запирался в кабинет на ключ. Но странно: как только щелкнет пружина в замке, его так и потянет взглянуть, что они теперь делают в гостиной, о чем говорят... Даже хорошо было бы подслушать. Например, из столовой это очень легко сделать: приотворить дверь и в щель, между косяком и полотнищем двери, можно все отлично видеть.

— Нет, это гадко... отвратительно!.. — повторял себе Кочетов, шагая по кабинету. — Если другие люди делают подлости, то это еще не дает права самому делаться подлецом.

В кабинете Бубнова висел резной ореховый шкапик, в котором доктор нашел еще недопитые бутылки. Он сам теперь начал прятать сюда вино и потихоньку от жены порядочно напивался к вечеру, особенно когда Прасковья Гавриловна ездила к братцу или тот ее навещал. Что-то непреодолимое тянуло его к заветному шкапику, и он по рюмочке отравлял тело, мозг и душу. Раз, пьяный, когда все затихло в доме, Кочетов не утерпел и в одних носках отправился к жениной спальне, чтобы подслушать, что там происходит. Он не видал, как уехал Семен Гаврилыч, и подозревал, что он здесь... Подкравшись на цыпочках к дверям спальни, Кочетов припал глазом к замочной скважине и увидел... Он увидел, как полураздетая Прасковья Гавриловна, оглянувшись на затворенную дверь, подошла к такому же шкапику, какой у него был в кабинете, достала бутылку и залпом выпила рюмку, как делают записные пьяницы. Он нарочно постучал в дверь. Она загремела ключами и отворила с обыкновенным недовольным лицом — в спальне никого не было.

«Ведь это называется фельдфебельским за-

поем», — думал Кочетов, пошатываясь.

Глава 8

К подъезду бубновского дома каждый день утром с жалобным дребезгом подкатывались старинные дрожки на круглых рессорах. Весь Пропадинск знал этот экипаж, и по нему делалось известным, в каком доме больной, потому что старик Кацман ездил только по больным. Сгорбленный, сухой, он резко звонил и молча взбегал по лестнице во второй этаж, а оттуда торопливо проходил в кабинет.

— Ну, что, collega, как мы сегодня чувствуем себя? — спрашивал старик каждый раз, подходя к кушетке, на которой лежал Кочетов.

— Мне лучше, — обыкновенно отвечал collega и смотрел на Кацмана мутными, воспаленными глазами. — Кашель меньше, боль в боку не такая Острая.

— Мы скоро будем молодцом, collega, — говорил Кацман, считая пульс.

Раз, когда доктор отворил дверь в кабинет, он сделал было шаг назад: Кочетов стоял на ногах и смотрел на него с улыбкой. Ноги у него давно отекли, а он ходит.

— Точно на чужих ногах хожу или на подушках, — объяснял Кочетов с необыкновенною бодростью. — Через два дня я буду совсем здоров.

Это была подозрительная бодрость, и старик, усадив больного в кресло, долго качал головой.

— Мне совсем хорошо, — продолжал Кочетов, опуская бессильно голову на мягкую и высокую спинку кресла, — Только, знаете, меня ужасно беспокоит одно.

Оглянувшись на дверь, он шепотом прибавил:

— Мне кажется, collega, что я и Бубнов — одно лицо. Помните Ефима Назарыча Бубнова, который умирал вот в этой же самой комнате? Так вот мне и показалось, что я не Кочетов, а Бубнов. Это ужасная мысль! У меня даже холодный пот выступил на лбу, и я почти на четвереньках подполз к зеркалу. И что же?.. Представьте себе: из зеркала смотрел на меня живой Бубнов, то есть я сам... Мне так сделалось страшно, что я закричал, а когда прибежала Прасковья Гавриловна, я так же притворился спящим, как делал это Бубнов, и

руки так же тряслись у меня…

— Вам нужно успокоиться, collega. Это был, конечно, бред.

— Ах, нет. Я и теперь то же самое чувствую. Опять начинаю превращаться в Бубнова. Вы замечаете, да?..

Кацман стоял и смотрел, строго сложив свои толстые губы. Collega был безнадежен — начинался паралич мозга. В яд больного был ужасен. Опухшее, серое лицо сквозило уже мертвыми тонами, глаза смотрели расширенными зрачками, разбухшее тело потеряло всякую жизненную энергию.

— Вы, может быть, чего-нибудь хотите? — спросил Кацман, чтобы сказать что-нибудь.

Больной сделал усилие и только показал на заветный шкапик, как это делал Бубнов. Он даже вытянул губы, чтобы сказать знакомое слово: «рю-умочку!» — но в легких не было силы, и вместо членораздельного звука со свистом вырвалась мертвая струя воздуха. Старик-доктор отворил шкапик, налил рюмку мадеры и подал больному, который с жадностью сделал один глоток, а остальное выплюнул.

— Какая гадость, — промычал больной и попросил поднять шторы. — Мне все кажется, что темно, доктор. Глаза, видно, ослабели.

— Это бывает, collega, а потом пройдет.

— Конечно, пройдет.

Состояние больного, когда начинались галлюцинации, было ужасно. В нем со страшной силой боролись два призрака. Очнувшись с холодным потом на лбу, он опять начинал думать, что мучился не он, Кочетов, а тот, второй, который неотступно преследует его день и ночь. Да, ночь... Какое это ужасное слово: ночь!.. Все затихнет кругом, и *он* входит в комнату. Вот эти тяжелые шаги, под которыми гнутся половицы, хриплое дыхание, скрип кресла, когда он грузно садится на него... У Кочетова захватывало дыхание в груди от ожидания, когда он не будет самим собой, а превратится в Бубнова; это самый мучительный момент, за которым сейчас же следовало облегчение. Иногда они разговаривали между собой, как хорошие старые знакомые, то есть опять-таки это был призрак разговора, потому что мысль не нуждалась в своей звуковой оболочке и вообще в каком-нибудь ве-

щественном знаке.

Так продолжалось недели две, но потом больному вдруг сделалось лучше — он очнулся и посмотрел кругом осмысленным взглядом. Оставалась только легкая усталость, которую испытывает отдыхающий человек. Кочетову казалось, что он сделал какое-то длинное путешествие и только что вернулся домой.

— Позовите мне Якова Григорьича, — попросил он заглядывавшую в двери горничную.

Вот именно этого хорошего старика ему и недоставало. Потом он вспомнил то хорошее, что должно было его окончательно спасти. Ведь и раньше он думал об этом хорошем, но оно как-то ускользнуло из головы. Теперь Кочетов закрывал глаза, напрягая все силы, чтобы не забыть счастливого спасительного слова, которое он может передать только одному Якову Григорьичу. И как все это просто: *уехать*, нет, *убежать*... Кочетову даже сделалось весело, и он встретил с улыбкой входившего в кабинет старого приятеля. Яков Григорьич пришел к нему еще в первый раз и так

смешно шагал по паркетному полу, точно он шел по льду или по стеклу. Оглянувшись на дверь, старик присел на стул к кушетке и угнетенно вздохнул.

— Яков Григорьич, вы меня совсем забыли, — попрекнул его больной.

— Это точно-с, виноват, Павел Иваныч, собирался, да все, знаете, делишки наши... Ей-богу, собирался!

— Да вы чего боялись-то?.. Я не сержусь, голубчик.

Больной с усилием перевел дух и опять улыбнулся.

— А мне вас так было нужно, — продолжал он, рассматривая отекшие пальцы. — Да, очень нужно... Помните, как я приехал в Пропадинск? Это была ошибка, а всякая ошибка ведет за собой целый ряд других. Прежде всего, я был дурной, бесхарактерный человек. Понимаете? Это с первого шага заметно. И в первый же день напился тогда. Ведь я не был пьяница, а напился... да. Потом пошло все остальное... и самое гадкое, что я делал, было то, что в своих собственных недостатках я обвинял других. Порядочный, уважающий себя

человек не допустит ничего подобного.

— Что вы, Павел Иваныч, напраслину на себя взводите... Мало ли с кем что бывает?

— Нет, не то... Помните, что вы мне рассказывали про Прасковью Гавриловну и братца Семена Гаврилыча? Ведь я тогда поверил и потом следил за женой. Подсматривал и подслушивал... Не правда ли, как это гадко?

— Самое пустое дело, Павел Иваныч...

— Да. Если бы была правда то, что вы мне рассказали тогда, зачем бы ей выходить снова замуж?

— Это верно-с. Так я тогда сдуру обмолвился, больше по своей простоте дурацкой, Павел Иваныч.

— Знаете, мне тогда следовало уехать сейчас же... нет, нужно было бежать. На другой же день по приезде сюда. Запомните, пожалуйста, всего одно это слово: *бежать*. А у меня в голове иногда путается... Сам виноват, кругом виноват.

— Павел Иваныч, одно вам скажу: не вы первые... — умиленно шептал Яков Григорьич, покачивая головой. — Где же образованному человеку с этакой трущобою совла-

дать?..

— Какой я образованный человек, — застонал Кочетов, тяжело перекатывая голову на подушке. — Просто имел диплом на легкую жизнь. Много нас таких-то!

— Нет, это уж совсем другое-с, Павел Иваныч... Трущоба, темнота-с, а тут свежий человек навернется, особенно молодой. Главное, кость в нем еще совсем жидкая, а у нас осатанелый народ, прямо сказать...

Кочетов вдруг замолк. У него закружилась голова от слишком сильного напряжения мысли.

— Не забудьте слово-то, — шептали посиневшие губы.

— «Бежать», Павел Иваныч?

Через несколько дней из бубновского дома тянулась к собору похоронная процессия. «Весь Пропадинск» шлепал за гробом по осенней грязи.

«Эх, Павел Иваныч, Павел Иваныч, — думал Яков Григорьич, шагая в хвосте процессии. — Жить бы да жить надо... ох-хо-хо!..»

Хищная птица

I

Погоня висела уже на хвосте. Слышен был топот приближавшейся бешеной скачки. По ходу догонявшей лошади старик догадался, что кучером у ревизора сидит Исайко, — так никто не проедет на сто верст...

— Ох, смертынька! — причитала толстая, закутанная в платки женщина, со страхом оборачиваясь назад. — Ох, у смерти конец...

— Молчи! — крикнул на нее старик, посылая лошадь одним движением вожжей. — Поменьше бы ела пирогов, так в жисть не догнать бы Исайке...

Женщина покорно замолчала. Висевшая над головой опасность совершенно сгладила всякую разницу между хозяйкой и кучером. Момент был решительный, и каждая минута могла погубить.

Спасение появилось неожиданно, то есть неожиданно для нее, а не для него. Топот по мерзлой дороге был уже совсем близко, лошадь начинала сдавать, но именно в этот момент попалась «росстань», то есть дорога раз-

делилась, как в сказке, на три, и, как в сказке, старик направил свою кошовку по средней, на которой путнику «не видать ни коня, ни головы». Проехав сажен двести, старик остановил лошадь.

— Ну, Марья Митревна, за родительские молитвы ты ущитилась, — проговорил старик, слезая с облучка.

— И то, Акинтич, душенька вон...

Акинтич, худенький старичок с козлиной бородкой и глубоко посаженными темными глазками, снял шапку, чтобы удобнее прислушаться, пожевал губами и засмеялся.

— Эх, Исайко, Исайко, дал маху! — точно с сожалением проговорил он, надевая шапку. — Уж он ли, пес, не знает дорог в лесу, а ударил налево — думает, мы на Колчеган махнем, к Елисею Иванычу... Хе-хе!

Марья Митревна, охваченная страхом погони, с ужасом оглядывалась все назад, и ей было неприятно, что Акинтич смеется. Нашел тоже время... Старик перепоясался, поправил чересседельник, вытер полой шубы покрытые куржаком[358] ноздри тяжело дышавшей лошади и заворчал на нее:

— Ишь как жир-то тебя донимает, купчиху. На восьми верстах задохлась, толстомордая. Ужо вот я тебя выучу...

Несмотря на пятнадцатиградусный холод, лошадь вся дымилась, точно выскочила из бани. Она действительно была закормлена и едва дышала, раздувая крутые бока и мотая головой. Акинтич потрепал ее по крутой шее, еще раз оправил седелку и начал поворачивать.

— Ты это куда, Акинтич? — воскликнула Марья Митревна.

— А домой... — спокойно ответил старик. — Пусть теперь левизор нас по всем дорогам ищет, а мы домой потихоньку поедем. Как раз к самому чаю выворотимся... Савва Ермилыч, поди, заждался.

Старик опять засмеялся и прибавил:

— Недаром, видно, сказано, что у погони сто дорог, а у вора одна дорога... Хе-хе...

— Перестань молоть, — хозяйским тоном обрезала его Марья Митревна. — Ох, только бы господь пронес... Кажется, уж ничего бы не пожалела...

«Как же, не пожалеешь... Разговаривай! —

думал Акинтич, взмащиваясь на облучок. — Тонул — топор сулил, вытащили — топорища жаль».

Теперь опасность миновала, и старик нарочно ехал тише, чтобы позлить хозяйку. Домой-то приедет гроза грозой, а теперь — вся в его руках. Вот уж обрадует Савву Ермилыча, как воротится живехонька...

Дорога шла ельничком. Деревья были точно обложены ватой, — зима была снежная, какой старики не запомнили. Начинало уже смеркаться. На случай встречи с кем — совсем хорошо. Разве лошадь только признает... Потом мягкими хлопьями повалил снег — еще того лучше.

Марья Митревна приободрилась и даже ткнула Акинтича кулаком в спину.

— Ты это што дремлешь-то, разиня?!

Акинтич сразу почувствовал себя старым верным рабом и точно сделался меньше. А как он давеча-то зыкнул на нее, на Марью Митревну. Ох, што только и будет!..

Когда кошовка подъезжала к Октайскому заводу, было уже совсем темно. Издали дома рисовались совсем неясно, и только яркими

всполохами светилась фабрика.

— Слава тебе, истинному Христу! — вслух молилась Марья Митревна, когда кошовка быстро полетела по широкой заводской улице.

В избах уже зажигались огни. Навстречу попалась управительская пара, но кучер, видимо, не узнал Акинтича, который, на случай, отвернулся. Переехали плотину, которой перехвачена была река Октай, поднялись немного в гору, где стояли дома заводских служащих, и повернули направо. Лошадь сама повернула к большому полукаменному двухэтажному дому и остановилась у деревянных ворот, выкрашенных в серую краску. Акинтич соскочил горошком, постучался у калитки и крикнул:

— Эй ты, старый глухарь, шевелись!

Послышались торопливые шаги, сопровождаемые старческим кряхтеньем, грянул железный запор, ворота распахнулись, открывая широкий двор, обставленный со всех сторон службами и домовыми пристройками. Огонь был только в кухне, да наверху, в кабинете. С улицы в дом хода не было, и он похо-

дил на крепость.

— Ну, слава Христу... — как-то вся охнула Марья Митревна, вылезая из кошовки с большим трудом.

Она огляделась кругом и только потом достала из кошовки зарытый в сене кожаный мешок и с трудом дотащила его к заднему кухонному крыльцу. Акинтич проводил ее глазами до дверей и сердито отплюнулся.

«Эх, надо бы ее было поучить! — думал он, укоризненно качая головой, — Кабы левизор-то накрыл даве, так и но судам бы натаскалась и в остроге бы насиделась. Жадна больно...»

Марья Митревна прошла в кухню, где ее уже ждала стряпка с заспанным лицом. Она не успела выскочить навстречу хозяйке и смущенно ухватилась за кожаный мешок.

— Оставь, дура!.. — обругала ее Марья Митревна, не давая мешка.

Собственно, жили только в нижнем этаже, в маленьких, заставленных мебелью комнатах, а верх служил только для парадных случаев и стоял пустой. Марья Митревна прошла к себе в спальню, сунула свой мешок в угол,

разделась при помощи стряпки и приказала:

— Позови сюда Акинтича.

Марья Митревна была еще не стара, но ее портила купеческая брюзглость. Лицо совсем заплыло, хотя еще и сохранились следы недавней красоты в русском стиле. Одевалась она по-купечески, а на голове носила черную шелковую «головку»[359]. В манере говорить и держать себя чувствовалась привычка быть деспотом. Это чисто сибирская черта, потому что в Сибири громадные торговые фирмы очень нередко управляются женщиной, особенно в раскольничьих промышленных семьях, а в купечестве наособицу, если у жены свой собственный капитал.

Акинтич торопливо разделся в кухне и, потряхивая своей маленькой головкой, пошел в спальню к «самой». Старик был такой худенький и жалкий, когда остался в одном полукафтане.

— Ну, что скажешь, старый черт! — встретила его Марья Митревна на пороге. — Я уж думала, ты меня ударишь...

— Дело-то такое, Марья Митревна... Виноват, — бормотал Акинтич, поводя костлявы-

ми плечами, — Значит, надо тоже понимать, а твоя женская часть...

— Ладно, я с тобой еще поговорю...

Она ушла в спальню и вернулась со стаканом водки.

— Вот на, выпей... Тоже, поди, напужался. Да... Выпей да помни, ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

— Ох, матушка, Марья Митревна, да руби меня топором — не пикну. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

Марья Митревна сунула ему за труды гривенник и велела убираться. Не так бы она рассчиталась с ним:, ежели бы не нужный человек... Акинтич жил при доме с испокон веку и давно сделался своим человеком, от которого не было тайн. Очень ей хотелось сорвать на нем сердце, но уж дело такое подошло. Собственно, испугалась по-настоящему Марья Митревна только сейчас, и ей живо нарисовалась картина, как ревизор накрывает ее с поличным, — в кожаном мешке она везла ровно полпуда краденой платины, — как потом ее потащили бы к следователю в суд, а там и в острог. У нее пошел мороз по коже от

этих мыслей. Марья Митревна присела на кровать и заплакала бессильными бабьими слезами.

II

Марье Митревне сделалось обидно до боли. Что она такое в самом-то деле? Другие мужние жены «сном дела» не знают. Живут себе, как курицы, а она-то какого страху напринималась... А все отчего? Если бы муж был у нее настоящий, правильный человек, так разве бы то было... Ей вдруг захотелось кому-то пожаловаться, поплакать, слушать утешительные слова, чувствовать сильную мужскую ласку, а вместо этого глотан слезы в одиночку. В следующий момент Марью Митревну охватило тяжелое чувство ненависти к мужу, который без всякого дела забрался наверх и без толку палит стеариновые свечи.

«Рад, что жена уехала, — вот и забрался в горницы! — думала она, вытирая слезы и поправляя перед зеркалом выбившиеся из-под косынки волосы. — Мадеру проклятую, поди, лакает... да. А сам, поди, еще думает, что вот влопается жена с платиной, посадят ее в острог, — так тогда, мол, полная моя волюш-

ка...»

Взвинтив себя этими мыслями, Марья Митревна, не торопясь, направилась наверх, в горницы. Из низу вела узенькая деревянная лесенка со скрипучими ступеньками. В парадной передней было темно и в большой зале тоже. Идти в кабинет приходилось через гостиную, и Марья Митревна издали услышала бормотанье и хриплый смех *самого.*

«Так и есть, успел налакаться!.. — с ожесточением подумала Марья Митревна, сжимая кулаки. — Растерзать его, идола, мало... Ох, погубитель мой!..»

Дверь в кабинет была полуотворена, и из нее падала в гостиную золотая полоса света. Марья Митревна быстро схватилась за ручку, распахнула дверь настежь и остановилась на пороге как вкопанная. Она удивилась бы меньше, если бы в нее выстрелили в упор. В кабинете у письменного стола сидел Савва Ермилыч, небольшого роста худенький мужчина, с красным носом. Савва Ермилыч был пьян, пред ним стояла две пустых бутылки из-под мадеры — все это было в порядке вещей... Но Марью Митревну поразило то, что

напротив, на кушетке, развалился сам горный ревизор Степан Иваныч Кульков, от которого она спасалась какой-нибудь час назад.

Неожиданное появление жены смутило хозяина, и он сделал попытку спрятать пустые бутылки, но Степан Иваныч, тоже худенький, длинноносый и черноволосый господин, не смутился, а поднялся самым развязным образом с кушетки (справедливость заставляет заметить, что он при этом заметно покачнулся, но это не может быть поставлено ему в вину, потому что он был пьян вот уже ровно пятнадцать лет) и проговорил:

— А, дорогая хозяйка... гм... Очень приятно... очень... да.

Марья Митревна не двигалась.

— Ручку-с, сударыня... Хе-хе!..

Он, покачиваясь, подошел к ней, взял за ручку и расцеловал прямо в губы.

— По-родственному... — объяснил он, подмигивая слезившимися глазами. — Ибо, мадам, Петр Великий сказал прямо... да... прямо... что пред господом мы все подлецы и мерзавцы... Значит, и выходим все родственники... Хе-хе!..

Марья Митревна только теперь опомнилась и отплюнулась:

— Тьфу ты, окаянная душа... Разве полагается мужних жен зря целовать? Ежели бы у меня был настоящий муж, так он бы показал тебе... А ты, пьяница, чего смотришь? — накинулась она с деланным азартом на мужа. — Какой ты муж, когда всякий у тебя на глазах может делать с женой, что хочет...

Савва Ермилыч только замахал руками, но на всякий случай выставил кресло впереди себя как баррикаду: Марья Митревна в гневе отличалась большой скоростью на руку. В периоды запоя она сильно колотила мужа чем попало, причем имела дурную привычку орать на весь дом благим матом, так что незнакомый человек мог подумать совершенно наоборот, то есть что пьяный Савва Ермилыч бьет ее, а не она его. Впрочем, сейчас его спас Степан Иваныч, который дрожащими руками налил рюмку мадеры и, расплескивая вино, поднес ее Марье Митревне.

— Ангел, прикушайте...

— Отстань ты, греховодник! — уже смягченно проговорила Марья Митревна, прини-

мая рюмку. — Пьете тут, как дудки...

— Натура такая, Марья Митревна... И неприятно, а пьешь.

Эта короткая сцена сразу успокоила Марью Митревну. Значит, давешняя погоня была пустяки: просто кто-то ехал позади, а ей с Акинтичем показался ревизор. Хорош ревизор, когда его хоть выжми — вон как насосались с благоверным: муженьком!.. Она даже улыбнулась и подсела к столу.

— Хоть пригубьте, ангелочек, — упрашивал Кульков, — хотите, на коленях буду просить?..

Марья Митревна сама любила выпить, но делала это потихоньку ото всех, так что об этом не подозревал даже муж. А сейчас она сделала вид, что пьет из вежливости, чтобы не обидеть дорогого гостя.

— Ну, уж так и быть... — жеманилась она, прихлебывая вино маленькими глотками. — Уж только для тебя, Степан Иваныч...

— Ох, мать честная, вот уважила! Еще рюмочку, ангелушка...

Марья Митревна выпила вторую рюмку и раскраснелась. Ей сделалось вдруг так лег-

ко-легко, и она смотрела немного осовелыми глазами на топтавшегося на одном месте ревизора. И чего в нем страшного, подумаешь?.. Она его боится, а он к ней целоваться лезет... Уж истинно, что одна бабья глупость. Но эти легкие мысли скоро были нарушены пьяной болтовней ревизора. Положим, он и всегда плел невесть что под пьяную руку, а трезвым не бывал, но Марью Митревну взяло большое сомнение.

— Э, все меня считают пьяным дураком... — бормотал он, причмокивая и подмигивая. — А вдруг я окажусь умным? Хехе... Худо будет. Может быть, я и сегодня хотел быть умным? Ха-ха... Ведь хорошо быть умным, Марья Митревна? Ведь вы, душенька моя, приторговываете краденым золотишком...

— Перестань ты молоть, Степан Иваныч... Что только и скажешь?

— Нет, я к слову... А вдруг я умный: сейчас понятых... этак вечерком... обыск... хе-хе!.. А где-нибудь в уголочке и запрятан кожаный мешочек, да не с золотом, а с платиной... Все бывает, душа моя. На людях и смерть красна... Люблю я вас, а ежели говорить правду, так

все вы воры... хе-хе! А ты не обижайся, ангелушка. Любя говорится...

Смущение Марьи Митревны увеличивалось еще больше тем, что Савва Ермилыч, вместо того, чтобы обидеться, хихикал, как дурачок, закрывая рот рукой. Самые строгие взгляды жены только сильнее разжигали эту веселость.

— Ох, матушка, уморила! — бормотал он, отмахиваясь рукой. — Так все воры, Степан Иваныч? Веселенькая компания, нечего сказать... А тебе выходит семейная радость вполне: получай родственников.

Марья Митревна, наконец, обозлилась. Перед ней были не муж и ревизор, а два пропойца. Она ответила в том же шутливом тоне, как говорил Кульков:

— А ты около себя поближе поищи вора-то, Степан Иваныч... Не тот вор, кто ворует, а кто вора покрывает.

— Правильно. Беру, только беру, душа моя ангельская, натурой: вот сигарок хорошеньких пришлешь — возьму, винца хорошего — тоже, балычка донского, икорки астраханской — все возьму да еще тебе же спасибо ска-

жу. А вот денег, мать моя, не случалось брать... Не случалось, родная. Ни богу, ни черту не грешен... Хе-хе!.. Пьян да умен — два угодья в нем. Так-то, Марья Митревна...

— Чужая душа потемки, Степан Иваныч. Ежели кто и берет, так руки-ноги не оставляет...

— Пустое, мать... А я так буду говорить: ездил я вот сейчас по дороге на Колчедан... так... прокатиться... Кабы снег не пошел, так до Елисея Иваныча бы вплоть доехал. Хорошие у него пельмени жена делает... Еду я, а впереди кошевка... хе-хе! Я за ней, а она от меня... хе-хе! Из глаз так и ушла... Кабы я злой человек был, так разве бы выпустил добычу из рук? Начальство к празднику бы награду дало за поимку хищника...

— А может, так кто ехал?

— У меня нюх, сударыня, есть...

— Просто поблазнило тебе, Степан Иваныч...

— Я и сам то же думаю... Ну, да не в этом дело. Люблю я пошутить... хе-хе!.. А в другой раз и пожалеешь...

Кульков хлопнул Марью Митревну по пле-

чу и, наклонившись к уху, шепнул;

— А настоящий, хороший петух никогда курицы не обидит... Вот ты и мотай себе на ус, мать. Хе-хе!

Кульков действительно взяток не брал, что было хорошо известно всем, но под пьяную руку любил поломаться. Марья Митревна поняла одно, что он ее узнал давеча, но хотел только попугать на всякий случай. А впрочем, кто знает, что у него было на уме...

Скоро Кульков совсем напился и, обнимая Савву Ермилыча, говорил заплетавшимся языком;

— Э, ангел мой, я все понимаю и все вижу... Вы друг у друга с промыслов золото да платину воруете, ну и воруйте. Aloe дело сторона. Много будет вам чести, ежели я еще себя буду беспокоить из-за вашего-то воровства.

III

Среди других уральских горных заводов Октайский занимал видное положение — не по своей специальности, как чугуноплавильный и железоделательный завод, а как центр золотопромышленности и платинопромышленности. Золотое дело началось здесь еще

«при казне», как говорили старожилы, — в то доброе старое время, когда вся горнозаводская промышленность находилась ка военном положении. Но уже в это жестокое время успела проявиться характерная черта всей русской золотопромышленности, каравшаяся «зеленой улицей»[360] и каторгой, это — отчаянное воровство. Проявились и наметились типы будущих золотопромышленников, которые вырастали под давлением мысли о диком счастье и легком обогащении. В числе этих первых золотопромышленников ярко выделился отец Марьи Митревны, старик Мокрушин, который три раза наживал большое состояние, три раза его проживал и кончил самой обидной нищетой разорившегося золотопромышленника.

Марья Митревна выросла именно в этой обидной нищете. Отец лежал разбитый параличом, приходилось воспитывать маленьких сестер и братьев в самой ужасной обстановке. От прежнего великолепия единственным воспоминанием оставался старик Акинтич, не изменивший Мокрушину и в дни его падения. Это был типичный верный слуга, состав-

лявший органическую часть «самого» Дмитрия Поликарпыча Мокрушина. Он носил еще на руках маленькую Маню, а потом служил ей, когда она убивалась над разоренной семьей, как птица над прошлогодним гнездом.

— Ох, Машенька, только бы нам чуточку дохнуть... — повторял Акинтич, жалея убивавшуюся над работой девушку.

Вероятно, в человеческой природе лежит не искоренимая ничем привычка непременно олицетворять причины своих неудач и бедствий. Старик Мокрушин умер с мыслью, что его разорил лучший друг Елисей Иваныч Шухвостов, с которым он делил и горе и радость, и удачи и неудачи. Даже полное разорение Шухвостова не оправдало его в глазах старого приятеля. Эта мысль перешла по наследству в семью, и Марья Митревна, находясь в самой отчаянной нужде, никогда даже не подумала обратиться за помощью к этому старому другу, даже когда отца уже не было в живых. Гордая девушка не хотела слышать самой фамилии Шухвостова и женским чутьем отвергала все его попытки помощи каким-нибудь окольным путем. Акинтич, умуд-

ренный житейским тяжелым опытом, пробовал привести к соглашению эту родовую ненависть, но все было бесполезно.

— Я тебя прогоню, — решительно заявила ему Марья Митревна. — Только посмей заикнуться о Шухвостове. Я умру над иголкой, пойду по миру, но от Шухвостова не возьму расколотого гроша.

— Марья Митревна, все люди — все человеки... — уныло повторял Акинтич, покачивая своей птичьей головкой. — Один бог без греха...

Марья Митревна, несмотря на нужду и горе, выросла красивой, здоровой девушкой. В свое время у нее явились и женихи, но все люди небогатые, которые не могли обеспечить родного гнезда. Один ей даже нравился. Но приходилось выбирать между личным счастьем и ответственностью пред сиротами, — Марья Митревна выбрала последнее. Она вышла за богатого старика Хлюстина, который перед свадьбой заявил ей:

— Скоро я помру... Все твое останется.

Тяжело пришлось Марье Митревне. Хлюстин был не злой человек, даже по-своему

добрый, но страшный самодур. В его доме стояло вечное пьянство и кормилась целая толпа всевозможных проходимцев. Переход от отчаянной бедности к этому пьяному богатству как-то ошеломил Марью Митревну. Между прочим, она разыграла тут и свой первый роман с красавцем приказчиком. Мужу донесли, он жестоко ее избил и прогнал. Она опять вернулась к своей родной нищете, но на этот раз озлобленной и с отчаянной решимостью устроиться во что бы то ни стало. Теперь у нее была уже опытность. В числе вечных гостей Хлюстина бывал и Савва Ермилыч, богатый сынок из раскольничьей семьи. Он сильно пил и робко засматривался на развернувшуюся красоту Марьи Митревны. Он же первый пришел к ней, когда разыгралась драма, пришел сконфуженный, робкий, не смевший поднять глаз.

— Надо как-нибудь устроиться... — говорил он виновато. — Так нельзя.

— Устроюсь, Савва Ермилыч. Только вот выбрать прорубь получше... А вы ко мне не ходите — наговорят, не знаю что.

Однако он не послушался и стал бывать.

Марье Митревне нравились его покорность и молчаливая любовь. Ей уже хотелось и мужской ласки, и покровительства, и сознания, что она не одна. Кончилось тем, что Савва Ермилыч сделался своим человеком., — Когда-нибудь старик умрет, — уговаривал он Марью Митревну, стеснявшуюся своим нелегальным положением. — Тогда поженимся, и никто ничего не посмеет сказать...

Но старик Хлюстин не желал умирать и под пьяную руку вспоминал про молодую жену. Раз он послал за ней и велел явиться непременно. Марья Митревна бежала, но ее поймали на дороге и силой заставили вернуться к грозному старому мужу. Она опять была жестоко избита и посажена в темный чулан под домашний арест.

— Наложу на себя руки, — заявила она мужу решительно.

По всей вероятности, она привела бы в исполнение свою угрозу, но избавление пришло само собой. Хлюстин был найден убитым, когда он ехал на прииск. Кучер мог показать только одно, что кто-то выстрелил «из стороны».

Этим дело и кончилось, а Марья Митревна получила полную свободу и свою седьмую вдовью часть. Выждав законные шесть недель, она вышла замуж за Савву Ермилыча, — вышла не любя, а так, для порядка.

Убийство Хлюстина так и осталось загадкой. Ближе всего могли заподозрить Савву Ермилыча, ко он в этот день был дома, а затем никто не мог бы поверить, что он решится на такое дело. Поговорили, посудили и помаленьку все забыли.

Умудренная первым опытом своего замужества, Марья Митревна вошла в дом второго мужа уже полной хозяйкой и с первых же шагов дала почувствовать свою тяжелую руку. Савва Ермилыч не смел пикнуть и в угоду жене не отделился от семьи.

— Что же, ему такую бабу и нужно, — решили все, — Марья Митревна дохнуть не даст.

Устроившись по-новому, Марья Митревна несколько лет точно отдыхала. Она подняла на ноги и пристроила сестер и братьев и только тогда вздохнула свободнее.

В каких-нибудь пять — шесть лет Савва Ер-

милыч приведен был в состояние полного рабства. В собственном доме он казался приживальщиком, а все дела по промыслам забрала в свои руки Марья Митревна и с первых же шагов показала себя жохом-бабой. Впрочем, всем она говорила так:

— Мое дело женское... Я ничего не знаю. Как хочет Савва Ермилыч...

Что удивляло всех, так это то, что Марья Митревна по делам очень близко сошлась с Шухвостовым. Старая семейная вражда была забыта. Шухвостов пользовался довольно темной репутацией, как старый приисковый волк. У него всегда было по горло дела, и как-то всегда он не успевал. Говорили, что он висит на волоске, но год шел за годом, а Шухвостов все висел. В Октайском заводе его называли целовальником, потому что в молодости он сидел в кабаке.

О настоящем значении этого странного сближения знал только один старик Акинтич и только качал своей старой головой. С Марьей Митревной делалось что-то неладное. Ее охватила какая-то болезненная жадность. Кажется, и свою вдовью часть получила и муж-

нины капиталы все забрала, и все мало. Под рукой она повела крупную скупку краденой платины, которая быстро повышалась в цене. Шухвостов был ее правой рукой. У него не было таких денег, чтобы вести дело широко, да и стар стал, начал побаиваться. Одна Марья Митревна ничего не боялась и не обращала никакого внимания, что все на нее чуть пальцем не показывают.

— Поговорят да перестанут, — успокаивала она Елисея Иваныча, когда тот начинал волноваться. — И я про всякого могу сказать...

Интересно, что не боявшаяся никого и ничего Марья Митревна иногда трусила пред Акинтичем. На старика что-то находило. Он оставлял свой робкий вид и делался грубым.

— Куды деньги-то хапаешь, несытая душа? — сказал он ей однажды прямо в глаза. — С жиру бесишься.

Марья Митревна не нашлась, что ему ответить. Всю прислугу в доме она держала в ежовых рукавицах, и Акинтичу доставалось от нее вместе с другими, но в последнее время старик сделался раздражительным и грубил без всякого повода. Он приходил к Марье

Митревне и заявлял:

— За жалованьем пришел...

— За каким это жалованьем?

— А вот за таким... При покойничке Дмитрии Васильевиче, когда он лежал больной, — за три года, после него до Хлюстина — тоже три года, при Хлюстине за три года да после Хлюстина за семь годов. Вот и считай: все шашнадцать годов.

— Да ты в уме ли, Акинтич?

— Даже очень в уме...

— Сыт, одет, в тепле — чего же тебе надо еще? Намедни гривенник дала тебе, да Савва Ермилыч гривенник, да сам на овсе сколько украдешь.

— Жалованье пожалуйте...

— Ну хорошо. Сейчас мне некогда, приходи завтра...

Это был обычный способ отделаться от сумасшедшего старика. Марья Митревна была скупа до того, что не стыдилась утягивать у прислуги гроши.

IV

После рокового разговора с пьяным ревизором Марья Митревна точно взбесилась. До-

сталось прежде всего, конечно, Савве Ермилычу. Когда Кульков ушел домой, она сразу набросилась на мужа.

— Откуда этот пропоец мог все вызнать, а?

— А я-то... я почем знаю.

— Нет, ты говори... Вместе душу пропиваете... Ты же вот и проболтался обо всем под пьяную руку.

— Ничего не знаю, Маша. Пить действительно пили, а больше никакого разговора не было.

— Растерзать тебя мало, пьяницу!..

— Маша...

— Молчать! Убью и отвечать не буду... Небось, Степан-то Иваныч пьян, а сам все знает и говорит как по-писаному. Откуда же ему знать, окромя тебя?

— Про Шухвостова он действительно говорил... Хвастался, что поймает его с платиной и что давно выслеживает его. Да я ему не верю... А тебя он любит.

— Ха-ха!.. Ох, смерть моя... Любит, говоришь? И тебя тоже любит? Ха-ха... А что касаемо Елисея Иваныча, так у него еще руки коротки... Фасоном не вышел... Пусть лакает

свою мадеру, а Елисей Иваныч продаст его к купит на десяти словах.

Обругав еще пьяницу мужа, Марья Митревна спустилась к себе в спальню. Она долго ходила по комнате, стараясь разгадать, какими способами Кульков мог дознаться до всего. Ведь этак могла быть и крышка... Да еще он же, пропоец, и издевается над ней!..

Она достала из потайного шкапика бутылку восьмирублевой мадеры, как делала каждый вечер потихоньку ото всех, и стала пить одну рюмку за другой, чтобы успокоиться. Но спокойствия не было. Она бродила по спальне, как тень. Вино не действовало...

— Надо мной захотел, Степан Иваныч, посмеяться, — думала она вслух. — Нет, погоди... Слышал звон, да не знаешь, откуда он. Руки коротки... А что касаемо Елисея Иваныча, так он сам еще поучит вас.

Но кто же доносит обо всем Кулькову? Откуда-нибудь он все знает... Кажется, кроме стен, никто и ничего не видит, комар носу не подточит, а тут вдруг все известно. Мысль о тайном предателе засела в голове Марьи Митревны гвоздем. Да, он где-то тут витает неви-

димкой над самой душой и над ней же смеется.

— Савва Ермилыч, конечно, пропащий человек, только на такую штуку не пойдет, — продолжала она думать вслух. — Не таковский человек...

Потом она сообразила, что он не мог проболтаться и в пьяном виде, потому что ничего не знал. Кто же наконец? Где эта таинственная рука, которая готова была погубить ее каждую минуту?

Вдруг Марье Митревне сделалось все ясно...

Она накинула на плечи шаль и отправилась в кухню, где на полатях спал Акинтич.

— Эй ты, змей, вставай! — крикнула она.

Акинтич спал чутким стариковским сном и сейчас же проснулся.

— А... што? Ехать? — бормотал он спросонья.

— Оболокайся поскорее да приходи ко мне... Надо мне тебе одно словечко сказать.

Акинтич слез с полатей, разыскал свой кафтанишко, поворчал в пространство и, почесывая натруженную поясницу, побрел в

спальню к самой.

— Эк ее ущемило... — ворчал он, шаркая ногами. — Не стало дня-то. Помереть спокойно не даст...

Марья Митревна сурово встретила его в дверях...

— Я тебе давеча дала гривенник?

— Было дело...

— Давай назад!

— Ну, это не модель...

— Сказано: давай!..

Такое начало застало Акинтича врасплох, и он смотрел на хозяйку ничего не понимавшими глазами. Но она повернула его за плечо и вытолкала в кухню:

— Неси сюда деньги, змей!..

Акинтич повиновался. Он полез на полати, где-то шарил долго руками, потом гремел деревянным сундучком и, наконец, вернулся.

— На, змея подколодная! — проговорил он, швыряя два пятака на стол. — На, давись.

Марья Митревна взяла деньги, спрятала их в карман и сказала:

— Ну, теперь поговорим, змей!.. А как ты думаешь, откуда вызнал Степан Иваныч?..

А?!.. Мы-то от него дураками гоним, а он вперед нас воротился и надо мной в глаза смеется. Все обсказал: и куда мы поехали и с чем поехали. Пряменько сказать: засрамил меня. Откуда бы ему все это вызнать?

— Не могу знать, Марья Митревна...

— А я тебе скажу: *от тебя...*

Акинтич сначала не понял, в чем дело, а потом отступил и замахал руками.

— Да, да, да!.. — наступала на него Марья Митревна. — Это ты, ты, ты... Ты продал меня, Иуда!.. Вон сейчас же из моего дома, и чтобы духу твоего не было...

— Куда же я пойду?

— Твое дело... Ступай к своему Степану Иванычу.

Она вытолкала его в шею. Акинтич вернулся в кухню, присел к столу и не знал, что ему делать. Очень уж обидело его хозяйское слово... Целый век прослужил, а теперь ступай на улицу, как слепая собака. Да и куда было идти? Акинтич остался и бобылем-то все из-за семьи Мокрушина, — не до женитьбы было, когда Дмитрия Васильича кругом беда обступила. А как он маленькую Машу лю-

бил...

— Ты все еще сидишь тут, змей?! — крикнула Марья Митревна, появляясь в дверях кухни. — Вон сейчас же...

Что происходило дальше — осталось неизвестным. Утром Марью Митревну нашли в кухне с раскроенным черепом. Акинтич даже не сделал попытки к бегству и точно сторожил покойницу.

— Что ты наделал, старик? — спросил следователь, Акинтич точно проснулся и ответил:

— Любил я ее, Машу... с измальства за родную.

На «шестом номере»

Глава 1

«Старик» сидел на обрубке дерева перед костром, смотрел на огонь и молча посасывал коротенькую английскую трубочку, начиненную злейшей российской махоркой. Он сидел так каждый вечер, охваченный какой-то блаженной дремотой, и это почему-то всех раздражало, хотя вечер полагался на отдых, и каждый мог распоряжаться им по собственному усмотрению.

— «Старик», ты ужасно походишь на сыча, когда так сидишь перед огнем, — раздраженным тоном говорила ему Прасковья Ивановна.

— Вы находите? — удивлялся «Старик».

— Нет, он походит на Будду, — уверял брат Парасковьи Ивановны Ефим Иванович.

«Старик» не отвечал, что еще сильнее раздражало всех, и Парасковья Ивановна поставила вопрос:

— Интересно было бы знать, о чем это чучело думает?..

В выражениях, как видите, не стеснялись,

и только один «Старик» оставался неизменно вежливым. Он как будто считал себя немного виноватым, особенно, когда Парасковья Ивановна раздражалась, а последнее случалось слишком часто. Она даже плакала в такие моменты, что уже совсем не шло к ее рослой фигуре и грубому, почти мужскому голосу. У Парасковьи Ивановны, как оказалось, были нервы, чего раньше как-то никто не подозревал. Открылось это совершенно случайно, ровно через день, как она приехала на прииск. Дело в том, что в лесу постоянно насвистывала так называемая птичка «горюн». Она издавала всего одну ноту, протяжную и унылую, и эта музыка продолжалась целые дни. Парасковья Ивановна приходила в отчаяние и умоляла убить горюна.

— Зачем это убивать ни в чем не повинную птицу? — слабо протестовал «Старик», — Она ведь никому не мешает...

— А если я не могу слышать этих стонов? Она не поет, а стонет, как умирающая... Не могу, не могу!.. «Старик», ты ее непременно убей...

«Старик» покорно брал ружье и отправлял-

ся выслеживать несчастного горюна. Но птичка была хитрая, забивалась в самую вершину какой-нибудь мохнатой ели, и невозможно было ее рассмотреть. «Старик» пробовал стрелять по вершине наудачу, но из этого ничего не выходило, — горюн замолкал на несколько минут, а потом его стоны начинали раздаваться где-нибудь в другом месте. Это была какая-то птица-невидимка. Особенно надоедала она по вечерам, когда в лесу водворялась мертвая тишина. Казалось, что горюн стонет прямо в ухе. Впрочем, волновалась не одна Парасковья Ивановна, и, если проклятая птица замолкала, все начинали ждать, когда она опять застонет. В конце концов выходило как-то так, что как будто виноват «Старик». Как это выходило, по какой логике — никто об этом не думал.

— Я убеждена, что этому идиоту доставляет удовольствие слушать горюна, — уверяла Парасковья Ивановна.

— Наверно, — поддакивал Ефим Иванович, во всем и всегда соглашавшийся с сестрой, — Вероятно, раньше «Старик» прикармливал горюна...

Последнее предположение являлось совершенной нелепостью и поэтому, вероятно, производило особенно сильное впечатление. Впрочем, «Старик» сам подал повод к такому обвинению. Раз, когда Парасковья Ивановна особенно к нему приставала, он заметил:

— Ну что же, пусть нравится... У каждого свой вкус.

В описываемый мной вечер «Старик» был особенно задумчив. Горюн так и надрывался где-то над самой головой. «Старику»- сегодня нравились эти стоны, потому что они отвечали его грустному настроению. Он не замечал, какая чудная ночь спускалась над горами, как обступивший приисковую контору лес тонул в мягком сумраке, как красиво всполохи красного пламени из сгущавшейся ароматной лесной мглы выхватывали какие-то причудливые тени, как землю постепенно охватывал торжественный покой, как на дне горной речки Полуденки, где были поставлены приисковые работы, поднимался волокнистый туман, точно пар от дыхания какого-то сказочного чудовища. Все кругом было торжественно-хорошо, хорошо строгой, молитвен-

ной красотой, какая царит в дремучем лесу по ночам и которой отвечает здесь каждая линия. Как, например, хороши вот эти великолепные папоротники, придававшие всему какой-то таинственный, сказочный характер. Они убирали землю сквозным зеленым кружевом, точно в лесной гуще происходил таинственный праздник невидимых духов. Последних видели только молчаливые строгие ели, рвавшиеся в небо своими прорезными вершинами-стрелками, да пестрые дятлы, неумолчно долбившие гнилое дерево.

И вся эта красота дремучего северного леса сейчас не существовала для «Старика». Он сидел на обрубке дерева, свесив руки, и смотрел на огонь, где прыгали красные змейки. Его худощавое лицо, изборожденное преждевременными морщинами, сегодня казалось особенно некрасивым. Длинный нос, узенькие серые глазки, впалые щеки, жиденькая бородка песочного цвета — все было некрасиво. Все называли его «Стариком», хотя ему было всего под сорок. Эта кличка установилась за ним еще в школе, да так и осталась на всю жизнь. Он, впрочем, не протестовал, да и не

интересовался собственной наружностью. И костюм сидел на нем по-стариковски — болотные сапоги, шведская кожаная куртка, поповская шляпа. Сейчас в голове «Старика» бродила одна фраза, которую он услышал еще утром. Парасковья Ивановна, когда еще пила чай, рассчитано-громко сказала:

— Он выезжает...

«Старик» чувствовал, что все смотрят на него, и стал внимательно наблюдать чаинки, плававшие в его стакане. Ему было как-то неловко и немного совестно. Он знал, о ком говорила Парасковья Ивановна, и не понимал, почему она говорит таким вызывающим тоном. И сейчас он повторял про себя эту фразу, повторял без конца, точно в голове у него ходил часовой маятник.

В разговоре не принимал участия только чахоточный черноволосый мужчина, одетый в синюю суконную блузу и широкополую соломенную шляпу. Он тоже сосредоточенно посасывал коротенькую английскую трубочку и время от времени с каким-то ожесточением сплевывал на огонь. Парасковья Ивановна наблюдала за каждым его движением

и убеждалась все больше и больше, что он положительно красив, особенно, если смотреть в профиль. Ей хотелось заговорить с ним, но она не решалась нарушить его поэтической задумчивости. Вдруг скажет что-нибудь такое бабье, а у него в голове, может быть, происходит что-нибудь необыкновенно серьезное. Звали чахоточного господина Егором Егорычем, и он почему-то всегда обижался, когда его так называли. Отчего не Георгий Георгиевич? Парасковья Ивановна чувствовала, когда он сердится, и смущалась.

Около огня некоторое время царило молчание. Ефиму Ивановичу это надоело, и он проговорил вызывающим тоном:

— На Английскую набережную кули таскать... да!.. Сделайте милость, сколько угодно... Из меня отличный крючник будет.

В доказательство последней мысли Ефим Иванович даже засучил рукава, чтобы показать свои могучие руки. Сложен он был, действительно, богатырем, и только нежная, белая барская кожа несколько портила впечатление. Произнесенная тирада очень хорошо была известна всем присутствующим, потому

что повторялась слишком часто. В переводе она означала, что Ефим Иванович недоволен чем-то. Не получив ответа на свой вызов, Ефим Иванович дополнил свою мысль:

— Мы черноделы, мужики... Что мне нужно? Русскую самую простую горошницу, потому что в ней много фосфора, потом кусок вяленой рыбы с душком, потому что в ней много йода, — и сыт, следовательно, независим, следовательно, моя нравственная личность ничем не подавлена.

Опять молчание. Ефим Иванович посмотрел кругом своими добрыми серыми глазами, разгладил окладистую русскую бороду и, повидимому, остался доволен произведенным впечатлением.

— Кажется, пора спать... — нерешительно заявила Парасковья Ивановна, вынимая золотые дамские часики.

— Совершенно пора... — подтвердил Ефим Иванович, поднимаясь с места. — Мы не господа, чтобы сидеть до вторых петухов.

Егор Егорыч тоже поднялся и утомленной походкой направился к конторе. Парасковья Ивановна посмотрела уничтожающим взгля-

дом на «Старика», который был всегда и во всем виноват, хотела что-то сказать, но круто повернулась и ушла молча. Ефим Иванович некоторое время оставался, чтобы хлопнут «Старика» по плечу и проговорить:

— Так-то, старина...

— А... что?

— Да так... Он, брат, выехал, то есть выезжает.

— Я это знаю...

— Мне, собственно говоря, плевать, «Старик». Ты знаешь — я человек прямой... да. Говорю откровенно... А чай ты пойдешь пить?

— Нет...

На «Старика» напало совершенно непонятное упрямство. Не спроси его Ефим Иванович — он пошел бы, а тут точно на пень наехал. Не пойду — и конец.

Глава 2

«Старик» несколько времени оставался у костра, не меняя позы. Он видел, как в конторе осветились окна, как задвигались тени, как растворялась и затворялась дверь, выходившая на широкое русское крыльцо, почему-то названное Парасковьей Ивановной ве-

рандой. Там готовили чай и легкий холодный ужин. «Старику» хотелось и закусить и напиться горячего чаю, но он с ожесточением повторял про себя, как раскапризничавшийся ребенок: «А вот и не пойду... да. Возьму и не пойду, а вы ешьте и пейте». По пути он припомнил, что еще год тому назад на месте нынешней приисковой конторы стоял дремучий ельник, и как он мечтал именно о такой конторе, где и светло, и Просторно, и дождь не мочит. Но вот явилась и контора, а он почему-то не решается перебраться в нее из своей землянки.

На веранде слышался громкий говор Ефима Ивановича, потом чему-то смеялась Парасковья Ивановна, а Егор Егорыч шагал из угла в угол с мрачным видом человека, приговоренного к смерти.

— Эй, «Старик», иди же чай пить! — громко крикнул Ефим Иванович, свешиваясь через перила веранды. — Парасковья Ивановна рассердится, если будешь капризничать...

— Я иду спать... — ответил «Старик».

Парасковья Ивановна нашла этот ответ почему-то смешным и залилась неестествен-

ным смехом. Это окончательно обидело «Старика», и он поднялся. Действительно, пора спать... Не торопясь, он зашагал разбитой походкой, как опоенная лошадь, к своей землянке, до которой было рукой подать — стоило только спуститься под гору, где над Полуденной живой пеленой сгущался туман...

От землянки падала разбегавшаяся полоса света, — это старый штейгер Лука натапливал очаг, чтобы ночью было теплее. Трубы в землянке не полагалось, и клубы дыма валили в открытую дверь. Старик сидел у очага, сложенного кое-как из камня-дикаря, и что-то помешивал деревянной ложкой в котелке, приставленном к огню. Над очагом висел медный походный чайник, заменявший самовар. Вода уже закипала и падала из носка чайника пенившимися каплями. Появление «Старика», очевидно, произвело на Луку неблагоприятное впечатление. Он сурово посмотрел на хозяина своими покрасневшими от дыма глазами и проворчал:

— Охота вам, барин, опять дым глотать...

«Старик» ничего не ответил и молча присел на корточки к очагу... Он вообще любил

огонь и мог просиживать в таком положении целые часы. Избушка, вросшая в землю, была полна дыма, и только привычный человек мот усидеть перед очагом, не задохнувшись от кашля. Лука молча отодвинул свой котелок от огня, еще раз помешал ложкой приготовленное варево, посолил на глазомер и поставил на обрубок дерева, заменявший стол. Это была вкусная похлебка из пшена, приправленная сухой сибирской поземиной. «Старик» с величайшим удовольствием отведал варева и принялся есть. Правда, хлеб, лежавший на полке, припахивал дымом, но голодные люди не разбирают. Лука ел молча и сосредоточенно, стараясь не крошить хлеба и старательно облизывая ложку. Его худенькое, морщинистое лицо, с всклоченными волосами и жиденькой бородкой, походило на болотную кочку, если бы кочка могла принимать постоянно недовольное выражение. И сейчас Лука черпал варево с таким видом, точно в каждой ложке была новая обида.

— Ну, слава богу, бог напитал — никто не видал, — проговорил Лука, облизывая в последний раз свою ложку. — А теперь чай бу-

дем пить, барин.

Чаем Лука называл горный шалфей, который он собирал в период цветения и засушивал каким-то особенным образом. Заваренный в чайнике шалфей давал приторно-пахучий настой желтоватого цвета. «Старик» во время своих скитаний по уральским золотым промыслам поневоле привык к этому оригинальному напитку и не без удовольствия выпил две чашки.

Пока происходили эти церемонии, дрова в очаге прогорели, и землянка очистилась от дыма настолько, что можно было ложиться спать. Лука слазил на крышу и закутал свежей травой дымовое отверстие, заменявшее трубу.

— Ну, теперь, барин, и на боковую пора, — наставительно говорил Лука, плотно припирая расщелявшуюся дверь. — Свечку не будем зажигать? Не надо? Ну, и отлично... Тоже деньги плачены. Ох-хо-хо!.. Господи, прости меня, грешного...

«Старик» очень скоро уложился на просторных нарах, занимавших всю заднюю половину землянки. Он ощупью нашел все

необходимое. В землянке было жарко, как в бане, но Лука страстно любил тепло и не признавал никакой вентиляции. Все равно к утру вот как выдует, и цыганский пот еще проберет. «Старик» должен был примириться и с этим, чтобы не обижать Луку. Он и не то видал, когда по неделям приходилось жить в полузатопленной водой землянке, как было при начале работ. Сейчас в землянке было «царство», как говорил Лука, сравнивая настоящее с прошлым. Тогда здесь всех-то десять человек спало, теснота, вонь, грязь.

«Старик» не мог уснуть и ворочался с боку на бок. Лука угнетенно вздыхал, припоминая какие-то тайные грехи. «С, господи милостивый, прости ты меня, раба недостойного. Микола угодник, моли бога о нас!» В землянке было темно, как в трубе.

— Барин, а барин?

— Ну?

Лука широко зевнул и проговорил сонным голосом:

— Ну, и просты вы, барин, как я на вас погляжу... Даже через число просты, а другим-то это и на руку, значит, ваша простота.

— Тебе-то какое дело до других, Лука?

— А ведь я все вижу... Не ослеп еще, слава богу. Даве вон стряпка Маланья какое слово выразила: «Вас, грит, с барином-то давно на подтопку пора отдать»... Ах, курва!..

— А ты не слушай, что болтает глупая баба.

— Да ведь, барин, маленькая собачка лает — от большой слышит. Тоже можем своим умом понимать... Тошно глядеть.

Лука сел и несколько времени с ожесточением чесал голову пятерней.

«Старик» молчал. Он предчувствовал неприятный разговор.

— Барин, вы спите?

— Нет...

— Давно я хочу вам одно словечко сказать...

— Говори, только не болтай глупостей, пожалуйста. Ты знаешь, что я не люблю глупостей.

— Какие глупости, барин... Что ни есть самое настоящее дело. Взяли бы вы эту самую Парасковью Ивановну — так, например, говорю — да, как кошку, за хвост да об стену.

— Лука!

— Нет, уж позвольте, барин... Долго я терпел... все терпел, а сейчас не могу. К самому горлу подошло...

— Лука!

— Нет, уж позвольте!.. Ведь они все на готовое пришли? Так я говорю? Мы-то тут достаточно и пыли наглотались и грязи нахлебались, пока обыскали золото, а они, сделай милость, совсем на готовое слетелись. На готовое-то и я первый воевода.

— Да ведь они не сами пришли сюда, а я их созвал, Лука.

— А для чего позвали? Мы тоже очень это понимаем... да. Конечно, дело было верное, а одному не под силу — вот вы и набрали приятелев. И у нас, мужиков, то же самое бывает, только не так кончается. Конечно, не кормя, не поя, ворога не наживешь, а все-таки ты чувствуй, ежели тебя рылом в молоко, как слепого щенка, ткнули. Правильно я говорю, барин... Ну, а какие ихние поступки касаемо вас? Тошнехонько глядеть. И всему заводчицей эта самая халудра Парасковья Ивановна, чтобы ей ни дна ни покрышки!..

— Она?

— Известно, она... Все от нее и пошло. Пряменько сказать: совсем вас в угол загнали, как последнего раба. Для кого контора-то строилась? А как выстроили, она и пошла свои бабьи слова поговаривать: «Эта вот комната моя... эта братцу Ефиму Ивановичу... эта Егору Егорычу, а эта, слышь, чай пить». А вам-то ничего не осталось. Хорошо это?..

В темноте раздался тихий смех «Старика», и Лука только развел руками. Рехнулся, видно, барин, окончательно... Потом Лука рассердился, а барин продолжал хохотать, уткнувшись головой в подушку. Лука даже плюнул.

— Ну, Лука, еще скажи-ка что-нибудь про Парасковью Ивановну?

— А что мне про нее говорить: хоша и барыня, а все баба — одна у них вера. Вон и чаю вам не дала напиться... Сама, небось, целый самовар вылопала. Люта она чай пить... Одного сахару сколько стравит. То же и насчет ужины.

— Тебе обидно, что они ужинают, Лука?

— Не завидно, а просты вы... Только вот палкой вас не гонят. Прямешенько надо говорить. А я достаточно нагляделся. Форцу насто-

ящего у вас нет, барин. По-настоящему-то, как вам следовало разговаривать с ними: «Пошолте вон, дармоеды!»

Глава 3

Прииск назывался довольно оригинально: № 6-й. По системе глухой речонки Полуденки, сбегавшей по восточному склону Урала, было разбросано очень много приисков, так что первому владельцу № 6-го было лень подбирать новое название. Место кругом было самое глухое, как вся северная часть казенной Гороблагодатской дачи. Даже проходившая через нее железная дорога не внесла никакого оживления, и промысловые пути сообщения находились в самом первобытном состоянии, а на № 6-й едва можно было пробраться только верхом. В летнее время горные болота почти прекращали возможность всякого передвижения, и только опытные таежные люди могли ехать верхом, по горным тропам и болотным «еланям». Парасковью Ивановну, принимая во внимание ее женскую слабость, а также кухарку Маланью перетаскивали в двух местах через болота на широких лубках. Это последнее постоянно

ставилось «Старику» в счет, как самое яркое проявление женского героизма. Старый Лука, впрочем, объяснял иначе.

— Чего же тут мудреного? Волокли через болота, как две редьки. Известно: бабы. У ней, у бабы, уж такой закон — всего боится... Ежели бы она не боялась, так с ней и сладу бы не было.

«Шестой номер» на непривычного человека производил самое угнетающее впечатление, впечатление какой-то подавляющей тесноты, обидной уже потому, что на сорок верст кругом не было никакого жилья. Река Полуденка пробиралась между лесистыми, неприветливыми горами какими-то закоулками, и ее течение постоянно преграждалось разными естественными препятствиями — то загородит дорогу обочина горы, то каменный утес, то целая гора. Речная вода преодолевала все эти препятствия и достигала цели обходными путями, конечно, теряя много во времени. «Шестой номер» получил свое существование благодаря горе Чуман, которая точно сознательно загородила дорогу лесистым плечом живой горной воде. По расчету первого

золотопромышленника, делавшего здесь заявку, золото именно должно было «подбиться» к этой горе благодаря задержанному течению. Образовался крутой, узкий и длинный лог, напоминавший брешь, сделанную каким-то неприятелем в основном горном массиве. Когда «Старик» в первый раз явился сюда, он не мог не согласиться с этим предположением и купил прииск с казенных торгов. Кто был этот первый предприниматель, где он пропадал сейчас — разорился, умер или разуверился в деле, — оставалось неизвестным, но идея продолжала существовать. «Старик» верил в нее и после целого года тяжелых испытаний и всяческих неудач добился своего. «Шестой номер» оправдал себя, как говорят на промыслах. Долго не дававшееся в руки золото, как заклятый клад, было найдено именно им, «Стариком».

Сейчас «Шестой номер» имел самый оживленный вид благодаря именно этой уверенности в открытой надежной россыпи.

Как по щучьему велению выросла и новая контора, и новая казарма на пятьдесят рабочих, и все признаки живой работы, а главное,

точно в самом воздухе висело бодрое настроение и уверенность в завтрашнем дне. В «Шестой номер» теперь верили все. Это отражалось на всем, а главным образом на настроении рабочих.

Когда «Старик» ранним утром выходил из своей землянки, его ухо приятно поражал трудовой шум, висевший над весело работавшим прииском. В его душе невольно просыпалось горделивое чувство, что главным виновником всего является именно он и только он один. Теперь «Старик» с особенным удовольствием вспоминал то недавнее время, когда он бедствовал в своей землянке и приходил в отчаяние от преследовавших его неудач. Благодаря этим воспоминаниям ему особенно дорогой делалась вот эта самая землянка, в которой он столько пережил. Парасковья Ивановна никак не могла этого понять, захватив в конторе лучшие комнаты. Да, он будет жить в своей землянке, как живут другие рабочие. Только часть рабочих помещалась в новом корпусе, выстроенном на пятьдесят человек. Это были так называемые «кондрашные», работавшие по годовым кон-

трактам. А большая часть рабочих помещалась по ту сторону Полуденки, в землянках или кое-как слаженных на скорую руку балаганах, прилепившихся к обочине горного увала, как гнезда стрижей. Тут жили старатели, работавшие с золотника намытого золота. По вечерам около этих балаганов так весело.

, курились старательские огоньки и слышались несмолкаемые песни. Без песни русский человек не умеет работать, а отдыхать тем больше.

Собственно прииск, где залетала золотоносная россыпь, делился на две неравных половины. На лучшей половине, где работали кондрашные, были поставлены хозяйские работы, что можно было издали заметить по зимней вскрыше турфов (верхний слой земли, прикрывающий россыпь), по только что устроенному пруду и особенно по большой золотопромывальной машине сибирского типа, которая называется «бутарой». Старатели работали вразброд, и каждый отыскивал счастье в свою голову. Промывка производилась ими на ручных станках, без всяких других приспособлений.

«Старик» с наслаждением обходил все работы, разговаривал с рабочими и чувствовал, что все эти простые люди уважают и любят его, за исключением, может быть, одного Луки, склонного ко всякому предательству по натуре. Верить коварному человеку было нельзя ни в чем, но «Старик» так сжился с ним, что отказать ему не мог.

— Слава богу, все хлеб едим от вас, барин, — повторял Лука, обходя со «Стариком» работы. — На что старателишки, и те мало-мало кормятся, которые ежели с умом...

Лука немилосердно грабил этих старателишек и всячески вымогал из них взятки, особенно, когда дело доходило до отвода новых делянок или приема намытого золота. До «Старика» доходили жалобы на этого старого негодяя, которого следовало давно прогнать, но «Старику» делалось как-то совестно за него же, и он, вместо того, чтобы обругать его по крайней мере, как-то заискивающе говорил;

— Лука, ты бы того, братец... гм...

— Я? Да я, барин... Ах, боже мой! — начинал клясться старый приисковый вор. — Да я для вашего интересу из своей кожи готов вы-

лезти семьдесят семь разов с разом.

В доказательство последней метафоры Лука с ожесточением бросал свою шапку оземь и начинал креститься.

— Да я... Вот не сойти с этого самого места. Можно пряменько сказать: стараюсь, как неумытый пес.

— Все-таки, Лука, ты бы того... вообще, не очень... — еще более смущенно бормотал «Старик», — старатели жалуются...

— Старатели? жалятся? А того они не сказали вам, барин, что они есть первые воры?.. За ними какой глаз-то нужно иметь. Недоглядел, а они сейчас, например, наше родное золото на сторону и потащат... Модель известная... Плачет об них острог, обо всех...

«Старик» всячески старался смягчить суровый режим старого хапуги и вора, но все его меры как-то не имели действия, и Лука имел полное основание смеяться над простоватым барином.

В конторе, где заседал Ефим Иваныч, тоже дело было как будто не совсем чисто, и недельные отчеты сплошь и рядом не сходились, причем Ефим Иваныч имел нахальство

оправдываться близорукостью, благодаря которой постоянно смешивал цифры 3 и 5.

— Может быть, ты меня подозреваешь в воровстве? — обижался Ефим Иваныч, в конце концов, переходя в наступление.

— Нет, я этого не говорю, — оправдывался «Старик», проклиная свое желание посмотреть отчет за неделю. — А только, вообще...

— Пожалуйста, не отпирайся! — гремел Ефим Иваныч.

— Да, ей-богу же, я ничего... я так...

— Нет, говори прямо!..

«Старику» приходилось извиняться, и он даже краснел, как напроказивший школьник.

— Я, брат, на Английскую набережную кули таскать, — заканчивал Ефим Иваныч, — у меня разговоры короткие. А затем в этом проклятом лесу я окончательно потеряю здоровье...

Заботы о здоровье составляли, кажется, главную задачу всей жизни Ефима Иваныча, и это настроение поддерживалось Парасковьей Ивановной с какой-то ожесточенной энергией. Каждое утро, когда Ефим Иваныч

выходил к чаю, она пытливо осматривала его и зловещим тоном говорила:

— Ефим, покажи язык... Мне кажется, что у тебя сегодня нехороший цвет лица. Тебе необходимо принимать железо...

Ефим Иваныч повиновался и даже ложился в постель, когда этого требовала Парасковья Ивановна. Вообще это был неисправимый дармоед, который мог в свое оправдание сказать только то, что Егор Егорыч еще больший дармоед, дармоед озлобленный, считающий себя вечно обиженным кем-нибудь. Судьба преследовала Егора Егорыча с замечательным постоянством и загнала его в конце концов в такую трущобу, как «Шестой номер». Пред всеми остальными он гордился тем, что был в Петербурге и насмотрелся там всяческих чудес, а главное, видел, как живут настоящие люди. Ефим Иваныч с завистью слушал его рассказы, из которых почему-то усвоил только одну фразу о таскании каких-то кулей на Английской набережной.

Глава 4

Через три дня Парасковья Ивановна за утренним чаем с таинственным видом

проговорила:.

Он выехал...

Егор Егорыч и Ефим Иваныч, как по команде, посмотрели на «Старика», который молча пил чай один стакан за другим.

Это была одна из его дурных привычек, возмущавшая Парасковью Ивановну до глубины души. «Старик» имел обыкновение выпивать целых пять стаканов чаю, тогда как Егор Егорыч пил всего два. Егор Егорыч сейчас служил для Парасковьи Ивановны мерой всех вещей, той нормой, уклонение от которой в ту или другую сторону приводило ее в негодование.

В контору «Старик» приходил только пить чай и обедать, что его сейчас очень смущало. Он предпочел бы тысячу раз питаться у себя в землянке, но это было бы некоторой демонстрацией. Приходилось покоряться установившемуся режиму, хотя это и составляло для него настоящую пытку. Когда он приходил в контору, все умолкали и таинственно переглядывались между собой, точно в комнату вошел шпион. Положение получалось невыносимое, тем более, что присутствовавшие

начинали обмениваться какими-то шифрованными фразами, о смысле которых он мог только догадываться. Особенно донимала «Старика» Парасковья Ивановна, принимавшая вид неумолимой судьбы. Если бы они все знали, как мучился и страдал «Старик» и вместе как было ему совестно вот за них же, за их несправедливое отношение к нему. Он даже краснел.

На «Шестом номере» собралась самая удивительная компания, какую только возможно себе представить. Приисковая жизнь, полная приключений, неприятных неожиданностей и поджигающего риска, создала целый контингент совершенно особенных людей, которых можно встретить только на золотых промыслах и которые никуда больше не годятся и нигде больше жить не могут. В большинстве случаев это самые неисправимые мечтатели и фантазеры, которые, не глядя ни на что, хотят силой вырвать у несправедливой судьбы свое счастье. Мысль о каком-то диком успехе служит главной основой этой промысловой психологии. Сегодня беден, как церковная крыса, а завтра богат. Для иллю-

страции всегда имеются целые десятки самых ярких примеров самого бесшабашного обогащения, когда из ничтожества возникают миллионеры. Эти баловни судьбы у всех на глазах, и происхождение их богатства окружено целыми легендами. Их имена превращаются во что-то вроде обиходной монеты, делаются нарицательными настолько, что ими думают. Кто не знает Парфенова, Егорова, Мокрякова, Большакова? Все они начали ни с чего, терпели всевозможные превратности судьбы и закончили миллионами.

Может быть, самым неисправимейшим из этих мечтателей был Николай Сергеич Крутиков, он же «Старик». Это был человек, который мог существовать только на фоне приисковой обстановки и совершенно не существовавший вне ее. Он убил всю жизнь на промысловое дело. Начал он, как большинство, с небольшого капитала, доставшегося в наследство. Капитал был зарыт в одно лето, и «Старик» оказался выброшенным на приисковую улицу без гроша в кармане. Много лет он перебивался мелкой приисковой службой, по грошам скапливал небольшие суммы, чтобы

зарыть их и опять мыкать горе, утешая себя несбыточными мечтами. Всегда оказывалось как-то так, что для счастья недоставало каких-нибудь пустяков, иногда нескольких десятков рублей, и другие обогащались там, где «Старик» разорялся. После каждого неудачного опыта он строго проверял себя и находил истинные причины краха. Это была настоящая школа неудач. Прибавьте к этому замечательное упорство и веру в себя, граничащую с помешательством. Знакомые считали «Старика» немного повихнувшимся и говорили:

— А черт его знает, дуракам счастье...

Последнее, кажется, служило главным основанием всей удивительной карьеры «Старика», так что в него даже начали верить, как в лунатика, который пройдет там, где нормальный человек свалится десять раз от страха.

Ближайший друг «Старика» (он питал всегда большое влечение к деликатным чувствам), Андрей Ильич Лизунов, тоже приисковое перекати-поле, особенно изощрял свое остроумие по поводу приятеля. Лизунов страдал остроумием, как другие золотухой или че-

соткой. Друг Лизунов говорил так:

— «Старику» недостает только денег, чтобы сделаться богачом, а глупости для этого у него достаточно вполне.

Уколы дружбы «Старик» переносил стоически, как законное возмездие за скрытую слабость своей души, и сообщил первому Лизунову об открытом золоте на «Шестом номере». Это открытие было совершенно неожиданно и взволновало весь промысловый мир, как новое доказательство дикого счастья. Лизунов, получивший приглашение войти в компанию к верному делу, говорил:

— Да, да... Дуракам счастье. Этакому оболтусу, и вдруг богатство.

Приисковая жадная голь была убеждена в глубокой несправедливости судьбы и злословила по адресу «Старика». Во всей этой истории было что-то таинственное. «Старик» забрался с маленькими средствами в самую глухую трущобу, где и пропадал целое лето, питаясь одними сухарями и пшенной кашей. Осенью он вернулся пешком, оборванный, голодный, обросший волосами, как настоящий дикарь. Золото было найдено верное, но нуж-

но было его взять, а для этого требовались средства. Тут выручил Лизунов.

— Мы составим компанию на паях, — объяснял он. — Ты будешь главным пайщиком, а другие дадут средства. Понимаешь?

«Старик» верил Лизунову, потому что любил его. На сцену сразу явились и капиталисты — Ефим Иваныч и Парасковья Ивановна Артюховы (они с часа на час ожидали наследства по-еле умиравшей третий год двоюродной тетки), а потом Егор Егорыч Иванов (у него был дом, принадлежащий жене, с которой он не жил пятнадцать лет). Составлено было формальное условие новой компании, и все отправились на «Шестой номер». Правда, что при отъезде у компаньонов не оказалось ни гроша за душой — тетка Артюховых продолжала еще умирать, а жена Иванова продала дом и бежала, но это были пустяки. Молва уже разнесла весть о золоте на «Шестом номере», и «Старик» без особенных затруднений нашел кредит. Компаньоны нисколько не были смущены этим обстоятельством и быстро вошли в роль настоящих владельцев. В успехах «Старика» они видели как бы косвенное

оскорбление их и с негодованием говорили:

— Что же тут удивительного, если этому дураку дают деньги? Дайте нам, и мы бы тоже взяли...

Контора и казарма для рабочих были выстроены еще зимой. На «Шестом номере» жил в своей землянке всю зиму один «Старик», и компаньоны явились только весной, когда все уже было готово. Лизунов страшно раскритиковал все, что было сделано, и даже кричал на «Старика»:

— Так может делать только сумасшедший! Разве это контора? Конюшня какая-то...

Известно, что на Лизунова нельзя было сердиться: он всегда волновался и кричал, а на других тем меньше. В глубине души «Старик» даже был ему благодарен, потому что только Лизунов мог завезти Парасковью Ивановну в такую трущобу. На промыслах женщина представляет предмет роскоши, даже самая простая баба, а Лизунов приспособил настоящую даму. Парасковье Ивановне было за тридцать лет и особенной привлекательностью она не отличалась, а мужской голос, резкие манеры и красное лицо делали ее «полу-

мужичьем», как говорил Лука. Но «Старик» всю жизнь провел бобылем и видел женщину так близко в первый раз. Он проникся каким-то благоговением к Парасковье Ивановне, в которой, как в фокусе, сосредоточивались все женские прелести. В довершение всего, Парасковья Ивановна была девица, то есть существо, затаившее в себе какое-то особенно таинственное счастье, которым имел быть награжден еще более таинственный избранник ее сердца. На «Старика» точно пахнуло никогда еще не испытанным теплом, и он часто смотрел на Парасковью Ивановну такими глазами, точно она могла вспорхнуть или разбиться.

— Этот дурак, кажется, влюблен в тебя, — заметил довольно грубо Ефим Иваныч сестре. — Я ему все ребра переломаю...

— Оставь его, — со вздохом проговорила Парасковья Ивановна: — пока он ничего еще такого не делает... Мало ли кто кого любит, — прибавила она таинственно — сердцу не прикажешь...

В специальном ведении Парасковья Ивановны оказалась вся область любовной пси-

хологии и жизни сердца вообще. На промыслах на каждую женщину смотрели очень уж просто, без всяких иллюзий даже, больше того — как на печальную необходимость, что Егор Егорыч мог подтвердить собственным примером.

Молчаливое обожание «Старика» сделалось неистощимой темой, особенно для Лизунова, который говорил:

— Дураки отличаются от умных людей тем, что каждый по-своему с ума сходит.

Про себя Лизунов называл Парасковью Ивановну приисковой кувалдой и чертовой куклой,

Глава 5

— Он приехал!..

Это случилось ночью, когда весь прииск спал. Штейгер Лука, страдавший старческой бессонницей, первый услыхал лошадиный топот и сразу определил опытным ухом:

— Три конника едут, барин...

— Как три? — испугался «Старик». — Лизунов уехал только с одним обережным...

Уехал вдвоем, а воротился втроем. Кто мог

быть этот третий? В душу «Старика» закралось тайное предчувствие чего-то нехорошего, но в контору он не пошел. Утром все объяснится. Однако всю ночь он спал очень плохо и видел во сне какую-то невообразимую чепуху.

Утром Лука заметил:

— Коней-то было три, а голосов четыре... Четвертый-то как будто не по-нашему лопочет. Прах его разберет...

«Старик» умылся, оделся и отправился в контору с тайным предчувствием чего-то дурного... На «веранде» вся компания уже расположилась вокруг чайного стола. Когда он подходил, раздался громкий крик:

— Дур-рак!.. Дур-рак!..

Все разом захохотали, особенно Парасковья Ивановна. «Старик» остановился в смущении и только теперь заметил большую медную клетку с попугаем. Это был сюрприз Лизунова Парасковье Ивановне, которая всю жизнь мечтала о говорящем попугае. Парасковья Ивановна сияла.

Лизунов, плотный мужчина с окладистой бородой и веселыми голубыми глазами, при-

ветствовал «Старика» с снисходительной фамильярностью:

— Ну, здравствуй, старина. На попку ты не сердись... Птица — все-таки умная. А вот я еще компаньона привез; прошу любить и жаловать... Федор Матвеич Пржч.

Раздался опять общий хохот. Парасковью Ивановну начали душить слезы. Из-за стола поднялся господин с лихо закрученными усами, стриженный под гребенку и одетый в канаусовую шелковую рубашку и бархатную поддевку.

— Это я, — коротко объяснил он, протягивая руку. — Моя фамилия действительно немного странная для непривычного русского уха, но я — серб и ничего не могу поделать. Можно произносить так: Пржич. Это все равно...

«Старик» в это время сосчитал присутствующих и окончательно смутился: получилась роковая для него цифра шесть. Эта цифра положительно преследовала его.

— Я с ним случайно познакомился, — объяснял Лизунов, прихлебывая чай из своего стакана, — и просто ахнул, когда узнал фами-

лию. Да ведь такого человека до самой Москвы не сыщешь, а нам в самый раз... Он, брат, дока по части двойной итальянской бухгалтерии. Ты вот все на Ефима Иваныча нападал за счета, ну, теперь мы все дело поведем начистоту. Вообще надо сосчитаться. Короче счеты — дальше дружба...

— Что же я... я ничего не имею против, — виновато бормотал «Старик». — Я очень рад.

«Старик» понял только одно, что этот Пржч и был тот самый таинственный *он,* о котором говорила Парасковья Ивановна. Она была предупреждена Лизуновым с какой-то «оказией». Затем «Старик» понял, что Егору Егорычу дана была уже чистая отставка и девичье сердце Парасковьи Ивановны билось теперь для этого сомнительного сербского человека. Очевидно, Лизунов для этой цели и привез его. Он не мог жить, чтобы не выкинуть какой-нибудь замысловатой штуки. Егор Егорыч сидел темнее тучи, — еще раз он должен был пострадать от женщины. О, несправедливая судьба! О, неумолимый жребий!..

Чай прошел очень весело. Лизунов привез два новых анекдота, которые рассказал еще

раз для «Старика». Все опять смеялись, а Пржч играл золотой цепочкой и внимательно наблюдал. «Старик» смотрел в свой стакан, как приговоренный к какому-то наказанию.

— Да, чуть не забыл... — спохватился Лизунов — золото я сдал, получил за него ассигновки, а за них деньги. Пришлось немного потерять из комиссии, ну, да ничего не поделаешь. Вот Пржч все разберет... Он в этих делах собаку съел. Ты ничего не имеешь, конечно, что я купил попугая на компанейский счет?

— Решительно ничего...

— И еще привез два олеандра и банку варенья. Ты согласен?

— Очень...

— Ну, вот... я был уверен. Ведь Парасковья Ивановна у нас одна, а наша обязанность услаждать ее жизнь в этой трущобе.

— Я вас совсем не просила делать сюрпризы... — жеманно ответила Парасковья Ивановна.

За завтраком «Старик» был свидетелем очень интересной сцены, которую понял только потом. Главным действующим лицом

была Парасковья Ивановна. Она, очевидно, старалась показать себя с самой лучшей стороны перед новым человеком и завела горячий спор.

— Я разделяю людей на две половины, — ораторствовала она: — одни эксплуатируют, а другие, которых эксплуатируют. Так было всегда и, вероятно, будет.

— Вы уж очень мрачно смотрите на жизнь, — сказал Пржч с мягкостью большого человека, который говорит с ребенком. — Да... Наконец эксплуататора всегда можно ограничить.

— По-моему, все надо начистоту! — вступился Ефим Иваныч. — А иначе на Английскую набережную кули таскать.

— Я говорю вообще о человеческой природе, господа, — объясняла свою мысль Парасковья Ивановна: — отдельные факты решительно ничего не доказывают... Вы встретили на улице хромого, что это доказывает? Это не значит, конечно, что все должны быть хромыми, а только то, что существуют уроды.

Весь спор сводился на эксплуатации кем-то и кого-то. Егор Егорыч мрачно смотрел на

«Старика» и с ожесточением жег одну папиросу за другой. Время от времени и другие тоже поглядывали на «Старика», но он ничего не понимал, больше, он решительно не желал ничего понимать. Его бессовестность начинала возмущать Парасковью Ивановну в окончательной форме.

— По-моему, просто есть нравственные уроды, как и физические, — подчеркивая слова, заметила она: — они утрачивают даже способность стыдиться...

За обедом обсуждалась та же тема об эксплуатации, эксплуататорах и эксплуатируемых, и «Старик» опять притворился ничего не понимающим. Это было возмутительно до последней степени.

Вечером, впрочем, все разъяснилось.

После ужина Лизунов отправился провожать «Старика» до его землянки. Ночь была великолепная, и впечатление портилось только стонами неугомонного горюна, который нынче насвистывал даже ночью. Лизунов взял «Старика» под руку и, шагая рядом, говорил самым задушевным тоном:

— Ты знаешь, «Старик», как я тебя люблю?

Никто не желает тебе добра столько, как я... Согласен?

— Тебе повезло дикое счастье... да? Так... но это еще не значит, что ты должен эксплуатировать своих друзей.

— Я?! Эксплуатировать?!

— Да, эксплуатировать. Ты знаешь, что я человек откровенный и говорю прямо. Все возмущены против тебя, а всех больше Парасковья Ивановна. Мне большого труда стоило уговорить ее остаться здесь, — то есть на «Шестом номере».

— И она против меня?

— Она-то и есть главная... ну, как это сказать? Главный твой враг... то есть не враг, а недовольная. Я тебе говорю все это только по дружбе... Понимаешь? Между нами, как говорят французы. А потом, какое мое положение? Я их всех пригласил в компанию, и вдруг... Вообще ты меня поставил в самое невозможное положение.

— Что же мне делать? — взмолился «Старик»: — ведь я никому не делал зла... я не хотел... а Парасковья Ивановна просто несправедлива ко мне.

— Ну, ты совсем не знаешь женщин, а все женщины, братец, одинаковы. Они созданы несправедливыми... Вообще не стоит говорить. Да... Так вот я — ты знаешь, как я люблю тебя — и привез этого Пржча. Пусть он всех нас рассудит.

— Позволь, почему же именно он, а не кто-нибудь другой? Ведь он совсем чужой человек...

— Вот это-то и важно, что он совсем чужой, а это значит, что он будет совершенно беспристрастен. Понял?

— Что же, вы хотите судить меня?

— Не судить, а только разобрать все дела. Путаница, понятно, выходит, а для компании это смерть... понимаешь... У него только фамилия сербская, а сам он настоящий русак. Водку так и хлещет... Даже закуски никакой не признает. Вот какой, брат, человек... Слабоват насчет баб, ну, да это нас не касается. Пусть за Парасковьей Ивановной ухаживает... Ха-ха!.. Она давеча за обедом чуть шею себе не вывихнула — все заглядывала на него.

«Старик» нахмурился. Его охватило в первый раз нехорошее ревнивое чувство. Поло-

жим, Егор Егорыч пользовался всегда некоторыми преимуществами, но к этому «Старик» уже привык и примирился до известной степени, а тут совсем другое. «Старик» возненавидел проклятого сербского человека...

Глава 6

С появлением Пржча положение «Старика» сделалось совершенно невыносимым. То, о чем он раньше мог только догадываться, теперь сделалось фактом. Если бы фальшивая монета могла чувствовать свое фальшивое положение, вероятно, она испытывала бы то же самое, с той разницей, что она не могла бы любить Парасковью Ивановну и ревновать ее к проклятому сербскому человеку.

А компаньоны продолжали что-то замышлять против «Старика» и посвящали Пржча во все компанейские тонкости. Когда появлялся «Старик», они демонстративно умолкали и переглядывались между собой. Парасковья Ивановна непременно кончала разговор темой об эксплуатации, и «Старик» начинал краснеть, что было явным доказательством его виновности. А между тем «Старик» краснел за них же, за их слишком откровенное

нахальство. Если бы Парасковья Ивановна могла видеть то, что делалось в душе «Старика», она никогда не говорила бы об эксплуатации. К заговору был приобщен и штейгер Лука, который был рад показать, что было нужно компаньонам. Он теперь стал держать себя с «барином» свысока, как настоящий предатель.

«Ужо барину-то канпаньены подвяжут хвост куфтой, — размышлял про себя Лука: — Лизунов-то вот как достигает...»

Участь «Старика» была решена вперед, и Лука, в качестве опытного приискового дипломата, старался предупреждать события, выгораживая себя. Будет, послужил «барину», пора и честь знать. Лука тоже начал считать «барина» виноватым во всем и быстро убеждался, что это именно так.

В сущности, говоря, «Старик» ждал разрешения собиравшейся над его головой грозы с спокойным сердцем потому, что чувствовал себя кругом правым, и ему было даже жаль неблагодарных компаньонов, ослепленных жадностью. Да, богатство было вот тут, в двух шагах, и блеск золота вызывал алчность, за-

темняя все проявления совести. В этой азартной игре он оказывался теперь лишним, и он ушел бы с прииска, предоставив все компаньонам, если, бы не Парасковья Ивановна. Ему хотелось от кого-то защищать ее, просто сказать ей наконец, какой он простой и хороший человек и как он любит ее. Про себя «Старик» говорил необыкновенно убедительные монологи, как не умел говорить даже Егор Егорыч, был находчив и остроумен больше Лизунова, даже смел и нахален, как Пржч. Ведь женщины любят немножко нахальства, того нахальства, которое действует на них неотразимо. О, как «Старик» понимал отлично все, решительно все, и, когда Парасковья Ивановна была бы его, он объяснил бы ей, что по натуре он совсем не нахальный человек и что сделался остроумным по необходимости. Раздумавшись на эту тему, «Старик» удивился, как это Парасковья Ивановна не видит всего того, что было скрыто в нем? Ведь он решительно всех умнее, храбрее, остроумнее, и если говорить правду, то и красивее. С этой точки зрения и Егор Егорыч, и Лизунов, и Пржч казались «Старику» такими ма-

ленькими, чем-то вроде очень смешных насекомых, о которых не принято даже говорить из вежливости. А они еще мечтают что-то такое устроить ему...

— Ты, брат, того... не обижайся... — несколько раз успокаивал Лизунов, принимая дружеский тон, — твое дело верное, и для тебя же лучше. Чтобы не было личностей, мы пустим вопрос на баллотировку. Одним словом, парламентский способ.

— Да я и не беспокоюсь... Делайте, что хотите.

— Ну, вот отлично. Я тебя всегда уважал, как порядочного человека... Ты знаешь, как я тебя люблю.

— О, да...

Лизунов даже обиделся, когда на его слова «Старик» скептически улыбнулся. Это было еще первое проявление какой-то совершенно непонятной самостоятельности. Ему говорят серьезно, а он смеется... Это хоть кого может взорвать. А «Старик» стоял и улыбался. О чем они так хлопочут? Если бы они знали, как ему решительно все равно. Давно ли он сам мечтал о богатстве, и вот оно почти в руках,

но сколько неприятностей оно принесло ему сразу! Давно ли он так любил вот хоть этого Лизунова и верил ему во всем, а сейчас он не может не видеть, как Лизунов хитрит с ним и продает его не хуже предателя Луки. Если бы не Парасковья Ивановна, с каким удовольствием он бросил бы все, чтобы снова сделаться перекати-полем. Ведь это счастье — верить всем и жить так, как хочется.

В конторе, когда «Старик» уходил после вечернего чая в свою землянку, шли самые оживленные совещания.

— Он это нарочно делает, чтобы досадить нам, — объясняла Парасковья Ивановна поведение «Старика»; — я ему предлагала взять мои две комнаты, но он упрям... По моему мнению, у него на чердаке не совсем того...

Парасковья Ивановна в подтверждение своих слов вертела пальцем около своего лба, и все находили это остроумным.

— Меня удивляет одно, как такой человек мог найти золото? — говорил Пржч. — Положим, дуракам счастье, но все-таки...

— А вы забыли упрямство? Только из одного упрямства... Какой разумный человек в со-

стоянии был бы прожить здесь один целое лето? Это, знаете, прямо сумасшествие...

— Очень милое сумасшествие, за которое теперь приходится расплачиваться другим.

— Мы его будем судить судом Линча, — предлагал Ефим Иванович, припоминая какой-то роман Эмара; — кажется, все достаточно натерпелись от него...

Молчал, по обыкновению, один Егор Егорыч, считавший себя обиженным больше других. Утратив благосклонное внимание Парасковьи Ивановны, он теперь ко всем относился с презрением. Разве это люди? Если бы они знали, чем мог быть и чем должен был быть Егор Егорыч... Несчастные, они даже и представления не имеют, какие бывают люди. А всех отвратительнее была Парасковья Ивановна, проявившая способность быть только бабой.

— Что же, господа, потребуемте от него отчет по предварительным расходам, — предлагал Лизунов, — тогда: все будет ясно.

Это предложение было встречено общим сочувствием, потому что все надеялись на неаккуратность «Старика», и Лука тоже уве-

рял, что никаких счетов не писалось.

Некоторое замешательство произошло только по вопросу о том, как потребовать у «Старика» этот отчет. Ефим Иваныч заявил откровенно:

— Что касается меня, господа, то я ни за какие коврижки к «Старику» за отчетом не пойду... Мне еще жизнь дорога, а неизвестно, что у него на уме. Возьмет да прямо в упор и выстрелит... Лука видел у него револьвер.

Это было уже смешно, и Лизунов вызвался все устроить. Он отправился в землянку к «Старику» днем, вскоре после обеда, когда он имел обыкновение сидеть с трубочкой у огня.

— Як тебе по делу, «Старик», — начал Лизунов, подсаживаясь напротив; — предупреждаю вперед: не обижайся.

«Старик» только посмотрел на него своими усталыми глазами и пустил густой клуб табачного дыма.

— Видишь ли, в чем дело... Одним словом, ты знаешь, что у меня нет ничего заветного, когда дело коснется тебя. Я это так, к слову...

— Ну?..

— Мы, то есть компаньоны, решили, то

есть не я, а другие... да, решили потребовать от тебя отчета предварительных расходов по разведкам на «Шестом номере». Ведь эти расходы должны быть разложены на всех поровну... Понимаешь?

— Что же, я ничего против этого не имею. У меня все записано...

— Вот и отлично... — забормотал Лизунов, не ожидавший такого исхода своей дипломатической миссии, — да, отлично; ты знаешь, вообще, как я...

«Старик» ушел к себе в землянку, долго где-то рылся, что-то бормотал себе под нос и наконец вынес толстую приходо-расходную книгу в очень подержанном переплете.

— Вот, — коротко объяснил он, — тут все есть. Все мои оправдательные документы...

— Прекрасно. Я всегда был в тебе уверен, то есть в твоей аккуратности. Позволь-ка, я посмотрю...

«Старик» передал книгу, а потом схватил ее и потянул назад.

— Видишь ли... гм... — бормотал он смущенно, — эту книгу я никому не могу дать...

— Вот тебе раз!..

— Да уж так... кроме расходов, у меня тут занесены кой-какие заметки совершенно личного характера. Я могу только сам прочитать, то есть запись расходов.

— Гм... Знаешь, это немного странный способ отчитываться. Ведь эта книга — официальный документ, следовательно она принадлежит уже не тебе одному, а всей компании.

Глава 7

«Старик» проявил невероятное упорство по поводу расходной книги, и потребовалось деятельное вмешательство самой Парасковьи Ивановны, чтобы ее отнять. Парасковья Ивановна именно отняла — пришла в землянку и отняла, несмотря на общественное мнение, относившееся к таким визитам неопытной девушки в берлогу старого холостяка не совсем одобрительно. Все дело, конечно, заключалось в ненасытном женском любопытстве. Что такое мог написать «Старик» в этой таинственной книге?

— Сделайте это для меня, «Старик», — с предательской ласковостью уговаривала Парасковья Ивановна, она в последнее время для большей язвительности говорила «Стари-

ку» «вы». — Понимаете, для меня?

— Я не знаю... право... — замялся растерявшийся «Старик». — Это я для себя писал...

— Тем интереснее... Ну, не упрямьтесь, голубчик!.. Ведь это вам решительно ничего не стоит...

Парасковья Ивановна заискивающе улыбнулась, а эта улыбка окончательно погубила «Старика», как отравленная смертельным ядом стрела.

Таким образом таинственная книга очутилась в конторе. Составилось что-то вроде военного совета. Лизунов перелистывал книгу и пожимал плечами.

— Это какой-то роман, господа... — заявил он наконец с недоумением. — То есть дневник... Кто будет читать, да и читать ли? Говоря между нами, тут, вероятно, напорота страшная чушь.

— Читать! читать!.. Эго лучший документ для наших целей...

По писанному все читали с трудом, и дело было предоставлено Егору Егорычу на том основании, что он когда-то был актером и даже играл на гитаре.

Все приготовились слушать. Егор Егорыч развернул книгу, разгладил измятый лист ладонью, откашлялся и спросил:

— Так читать, господа?

— Читать, читать…

Водворилось молчание. Егор Егорыч еще раз откашлялся и начал:

«16-го июня 1892 года, вершина реки Полуденки. Бывают, положительно, роковые цифры, какой для меня является шесть. Судите сами. Родился я в 1856 году (самая непоправимая ошибка в моей жизни), сейчас я имею от роду ровно 36 лет, выгнан я из шестого класса гимназии, ровно шесть раз поступал на службу и ровно шесть раз ее бросал, и, наконец, сегодня, 16 июня, я пишу эти строки в землянке, на собственном золотом прииске, который носит роковое для меня название «Шестой номер» и за который я заплатил 616 рублей на казенных торгах»…

— Позвольте… — остановил Пржч, вооружившись карандашом. — 616 рублей? Так и запишем. Продолжайте.

«Да, я начал свой дневник, потому что испытываю непреодолимую потребность из-

лить свои мысли и чувства... Какое ужасное слово: нет людей! Я сейчас пишу на крышке своего походного чемодана, при свете сального огарка, вставленного в горлышко бутылки из-под водки, — и это последние признаки покинутой мной цивилизации. Мои мысли немного путаются, и я не могу изложить их вполне последовательно. Дело в том, что нельзя требовать от человека душевного равновесия, когда вот уже третью неделю безостановочно льет дождь, упорный, беспощадный, нахальный, уничтожающий, бесконечный, проклятый дождь!.. Я чувствую, как понемногу превращаюсь в слизняка, в улитку, в устрицу, а моя землянка только раковина, и очень скверная раковина. Я начинаю думать, что господин дождь идет специально для меня, чтобы размыть до основания все мои расчеты, соображения, сметы и надежды. (В публике движение. «Кажется, он хочет поставить нам в счет этот дождь?» — шепчет кто-то.) Но и это еще не все. Когда моя партия только что привалила на «Шестой номер» и едва мы успели развести первый огонек, как послышался свист, однообразный, методичный, как

капли падающей воды. Что это такое?

— А это птица, Николай Сергеич, — объяснил мне мой штейгер Лука, кстати, преестественный плут. — Так она и прозывается: горюн. Как зарядит насвистывать — конца не будет.

И теперь эта адская пытка продолжается уже целый месяц. Свист начинается с раннего утра и продолжается даже после заката солнца. Можно сойти с ума от этой проклятой птицы... Сколько раз я за ней ходил с ружьем, чтобы застрелить, и ничего не мог поделать. Обещал рабочим: три рубля, если ее убьют, и это не помогло. Потеряно только несколько рабочих дней, а горюн продолжает посвистывать. Какое нужно иметь проклятое горло, чтобы свистать целый месяц без передышки! Даже мои рабочие приходят в ярость и начинают проделывать целый ряд совершенно бесцельных штук — бросают камнями в то дерево, с которого раздается свист, бьют обухом по древесным стволам, стреляют из моего ружья и т. д.

— Господа, на поле отметка: куплено два фунта пороха.

— Так и запишем: на горюна потрачено два фунта пороха и несколько рабочих дней, — считал Пржч. — Ведь за все мы должны расплачиваться...

«26. Дождь переставал дней на пять, но в это время рабочим приходилось отливать воду из старых шурфов. Вода вообще одолевает меня и подступила к самой землянке, так что я даже подозревал, не начало ли это второго потопа. Кстати, о рабочих... Их шестеро, т. е. восемь, но двое получили задаток и бежали. Одного из этих каналий пришлось одеть с ног до головы. Что делать, люди отличаются неблагодарностью. Из оставшихся налицо на первом плане стоит Лука, большой плут, затем какой-то дьячок-бродяга, башкир Ахмет, отставной фотограф и еще двое очень подозрительных субъектов.

Сегодня утром меня будит Лука и говорит виноватым тоном:

— Николай Сергеич, а ведь у нас солонина-то того...

— Что, того?

— Значит, мы ее в яму закопали в лесу,

чтобы не портилась. Ну, сегодня пошел плепорцию взять на варево, а яма разрыта... Значит, медведь всю ее и слопал, нашу солонину.

— Пять пудов?!

— Все дочиста слопал... Как его только не разорвало!

Это был жестокий удар для моего хозяйства. Нужно было посылать рабочего за шестьдесят верст, а он проездил целую неделю. Но одна беда не приходит. Исчезло целое ведро водки. Конечно, свалить эту пропажу на медведя было неудобно, и рабочие чистосердечно признались, что не утерпели и со скуки потихоньку выпили все ведро.

— Себе же хуже сделали, — говорю я, стараясь сохранить спокойствие. — Водка ведь для вас была куплена, но выпили бы ее в свое время, а теперь все равно, что за окно ее вылили...

— Это вы правильно, Николай Сергеич... А только и то сказать — тоска на этом «Шестом номере». Смертынька... Один горюн всю душеньку вымотал.

Рабочие ожидали, что я буду ругаться, топать ногами и вообще неистовствовать, по-

этому несколько смущались, а когда ничего подобного не случилось, они отнеслись к факту совершенно равнодушно. Я не заметил даже тени раскаяния или мучений совести. Мало этого, я в их глазах уронил свой хозяйский авторитет процентов на двадцать... Вообще я теперь поневоле занимаюсь самыми тонкими наблюдениями над приисковыми рабочими и прихожу к очень печальным заключениям. Приисковые рабочие, положим, даже по контракту не обязаны быть праведниками («Какая счастливая мысль!» — заметил Ефим Иваныч), но их нравственный уровень нисколько не выше, чем у медведя, съевшего мою солонину. Как мне казалось, совестнее других был Лука, бывший севастопольский ратник, и я постепенно пробовал приводить его к сознанию, что пить чужую водку вообще нехорошо, а выпить ее в таком количестве даже вредно для здоровья.

— Да ведь мы ее росчали еще дорогой, Николай Сергеич, — ответил Лука в свое оправдание; — дьячок укладывался, он ее первый и унюхал.

— И никто из вас не подумал, что это нехо-

рошо? — продолжал я. — Если бы я, например, украл у тебя сапоги и пропил их...

Понятие воровства и выпивка чужой водки никак не укладываются в голове Луки вместе. До этого рокового пункта он понимает все отлично, а тут делает глупое лицо и как-то особенно безнадежно моргает глазами. Единственное и самое лучшее, что можно и следовало сделать, — это прогнать всех с прииска в шею и нанять других рабочих, но, во-первых, подобная резолюция стоила бы недели три дорогого летнего рабочего времени, а во-вторых — все приисковые рабочие, как откровенно объяснил Лука, «все на одну колодку, перо в перо». Положение довольно безнадежное»»...

— Господа, необходимо подвести счет, — предлагает Пржч, делая отметки карандашом. — Во-первых, черная неблагодарность двух убежавших рабочих... легкий завтрак медведя, съевшего пять пудов нашей солонины... ведро водки, росчатое любопытным дьячком... Вообще, получаются специальные графы, по которым придется разносить эти предварительные расходы.

Все хохотали до слез, и каждый изощрял остроумие в свою долю.

— Нужно прибавить еще безнравственность Луки, господа...

Собственно запись расходов была занесена на полях, и приходилось делать выборки по датам дневника. Это была самая оригинальная приходо-расходная книга, когда-либо существовавшая.

Глава 8

Чтение дневника продолжалось и на следующий день. Это было лучшим развлечением среди приисковой скуки. Читал опять Егор Егорыч. Даже он на время потерял свой обиженный вид.

— Господа, внимание...

«Августа 6. Странно, что, когда я брал прииск в аренду, не было даже мысли о самом ближайшем, т. е. о помещении. Воображение рисовало картину во вкусе Майн-Рида, и себя самого я представлял чем-то вроде Робинзона. Говорили, что на «Шестом номере» есть что-то, и это «что-то» оказалось полуразвалившейся землянкой. Но как-нибудь можно перебиться до осени, а разведки сделать необходи-

мо. В двух шурфах оказались порядочные «знаки золота». Беда в том, что рядом было совершенно пусто. Это меня серьезно огорчает.

— В горах завсегда так, Николай Сергеич, — успокаивает меня Лука в качестве специалиста: — речонка крутая, ну, золото и подбилось гнездами...

— Этак и правильные работы нельзя будет поставить.

— А отчего нельзя? Можно натакаться на огромное гнездо, вот все и окупится сразу.

— Гм... да... Конечно, бывают случаи.

— Все от того, Николай Сергеич, у кого какое счастье... На одном месте могут пять человек разориться, а шестой разбогатеть.

— Шестой?

— Кому, говорится, счастье...

А если я именно этот *шестой?* У меня даже является что-то вроде надежды. Впрочем, молчание... Настоящие игроки никогда не смотрят своих карт, пока не сдана вся колода. Будем ждать и терпеть. Вчера нашу землянку чуть не залило водой, которая просочилась где-то в стене. Положение становится проклятым. Рабочие ропщут, и я начинаю ждать от-

крытого восстания моих верных подданных. В общем скверно. Впрочем, погода, по-видимому, желает исправиться. Было уже два солнечных дня!

12 августа. Ура! Солнце... Запоздавшее солнце, но все-таки солнце. Ведь все лето было отчаянно-дождливое, а тут и свет и тепло. Рабочие заметно приободрились. Но в самый разгар работы неожиданный сюрприз. Сегодня утром приходит Лука, по обыкновению несколько времени мнется, а потом говорит залпом:

— Николай Сергеич, а ведь хлеба-то у нас нет.

— Как нет?

— Да уж так: все съели.

— Что же ты раньше ничего не говорил, Лука?

— А што говорить, когда он был. На завтра еще хватит. Надо будет дьячка послать, потому как у него лошадь. Она живой рукой обернется... Уж дьячок обыщет... Тут где-то есть деревнюшка, верстах в пятидесяти.

— А что мы будем делать, пока он ездит?

— Поголодаем малость. У воды без хлеба

пока еще не сиживали.

Дьячок получил пять рублей на хлеб и отправился в экспедицию. Мы его провожали самыми трогательными советами.

— Уж я постараюсь, — говорил он с каким-то самодовольством. — Уж будьте покойны. Из земли добуду.

— Водки, главное, не касайся, — советовал Лука.

Августа 10. Увы! мы голодаем уже третьи сутки. Настоящий форменный голод. Чтобы обмануть желудок, пьем горячий настой из шалфея и едим грибы. Лука добывает в лесу луковицы горной саранки, и мы делаем из нее похлебку. Положение становится безвыходным. Ходил на охоту, но ничего не убил. Голодные рабочие мрачно отмалчиваются. Заставлять работать голодных людей несправедливо, и они ровно ничего не делают. Конечно, во всем виноват Лука, не предупредивший вовремя. Сегодня он, впрочем, понес достойное наказание. У нас было две лошади. Дьячок уехал на своей (есть подозрение, что он совсем не вернется), оставалась лошадь Луки. И вдруг — представьте ужас нашего по-

ложения: эту вторую лошадь, представлявшую для нас и железную дорогу и пароход, сегодня задрал медведь. Мы отрезаны от всего остального мира. Лука в полном отчаянии.

— Ежели бы две лошади ходили вместе, так медведю не скрасть бы ни в жисть, — уверяет он. — Которая-нибудь да учуяла бы. А все из-за вас, Николай Сергеич!

— Вот тебе раз!

— А уж так. Ведь вы послали дьячка за хлебом.

Это меня взорвало, как верх всякой несправедливости. Я виноват! Может быть, я же виноват, что рабочие выпили мою водку, что шел целое лето дождь, что стонал горюн? Нет, это невозможно! Я начинаю терять терпение. А голод начинает всех донимать, и я приписываю несправедливость Луки именно голоду. Голодный человек не может быть справедливым («Какая верная мысль!» — замечает Ефим Иваныч, любивший покушать). Я впадаю в философию и начинаю понимать, что именно только голодные люди могли дойти до философских обобщений. Больше ничего не остается делать голодному человеку, как

только обобщать, анализировать, размышлять и углубляться в корень вещей. Есть даже целые нации-философы, как мой башкир Ахмет. Этот милый субъект лежит совершенно неподвижно по целым дням, очевидно, стараясь не расходовать последнего запаса энергии, и я как-то поставил это на вид упавшему духом Луке. Но оказалось, что подкладка этой башкирской философии совсем другая.

— Хорошо ему лежать, идолу! — выругался Лука. — Он вот лежит таким манером, а потом пойдет потихоньку, отрежет кусище от моей задранной лошади, поджарит на угольках и слопает. Ну, вот и лежит... Тьфу!

Но на четвертый день Ахмет не вытерпел и заявил мне в самой категорической форме:

— Твой дьячка кунчал... Ахмет домой гулял... расчет.

Получил расчет и ушел. Это очень скверный пример для других. Остающиеся двое рабочих смотрят на меня такими голодными глазами, и я начинаю серьезно их побаиваться. Ложусь спать с заряженным ружьем, хотя и сознаю полную бесполезность такой предосторожности.

Августа 14. День отчаяния... день позорного отступления. Бывают же такие проклятые дни! Сегодня ночью мои мрачные сотрудники бежали, захватив на память мое ружье и чемоданчик. У меня от голода делаются спазмы в желудке и голова начинает кружиться. Лука сохраняет удивительную ясность духа и для нравственного ободрения вспоминает разные случаи из своей севастопольской жизни. Утром, когда убежали рабочие, Лука долго молчал и только встряхивал толовой, точно отгонял муху. Наконец, он проговорил:

— А знаете, Николай Сергеич, отчего вся наша причина вышла?

— Отчего?

— И даже весьма все это дело просто, ежели разобрать. Бабы у нас на прииске не было — вот и вся причина. Она, эта самая баба, разве бы стравила медведю солонину? Ни боже мой, ни в жисть... Тоже и касаемо водки, ухранила бы в лучшем) виде. Никому бы понюхать не дала... А уж ежели насчет хлеба, так мы бы еще две недели сыты были. Одним словом, все от бабы вышло...

Вопрос о бабе поднимался еще при найме

рабочих, но ни одна «стряпка» не пожелала забираться с незнакомой артелью в такую трущобу, как «Шестой номер». На промыслах вообще баба знает себе цену и давно разрешила свой женский вопрос. Как мне кажется, Лука был прав... Отсутствие женщины даже в такой примитивной форме, как промысловая стряпка, чувствуется на каждом шагу. Но теперь было уже все кончено, и женский вопрос для «Шестого номера» остался открытым.

Итак, день позорного отступления... Золото было найдено, и хорошее золото, судя по знакам, и оставалось только его реализовать, что составляет вопрос будущего. Когда мы с Лукой уходили с прииска, сопровождаемые насвистыванием горюна, мне показалось, что в стороне мелькнула неуклюжая медвежья тень. Может быть, он провожал нас насмешливым взглядом и облизывался, вспоминая съеденную солонину».

Этим заканчивался дневник «Старика». Слушатели несколько времени молчали, не зная, что говорить. Но из этого затруднения вывел всех Пржч.

— Что же, господа, к предыдущему добавим бежавшего с пятью рублями дьячка...

— Задранную медведем лошадь Луки...

— А тень неудавшейся приисковой бабы? Куда мы ее поместим? Такой и графы не придумаешь... Ах, «Старик», «Старик»!.. Кого угодно насмешит...

— Одним словом, комик!.. И ведь как гладко пишет...

— В некоторых местах даже совсем трогательно, — прибавила от себя Парасковья Ивановна, делая томные глаза. — У него положительно есть сердце...

— Сердце при нем и останется, а нам вот нужно будет серьезно подсчитать, господа...

— Да, да подсчитать... Нам его не нужно, и своего мы не желаем отдавать...

Глава 9

«Старик» относился почти безучастно ко всему, что сейчас делалось на прииске. Он знал о замыслах своих компаньонов и оставался спокойным. Правда, у него по временам являлась такая мысль: а что, если в одно прекрасное утро взять и выгнать всех этих негодяев? Ведь прииск его, и они не внесли

решительно ничего в общее дело. Ему рисовалась даже самая картина того эффекта, который произвело бы всего одно его слово:

— Вон, господа негодяи!..

Письменного договора не существовало, следовательно, все права были на его стороне. О, с каким бы позором они ушли с «Шестого номера», призывая на его голову всевозможные проклятия! Это было бы только заслуженной карой за их коварство... Но, с другой стороны, ему рисовалась картина иного характера: вместе с компаньонами с прииска уйдет и Парасковья Ивановна. Воображение «Старика» отказывалось работать дальше, за этой роковой гранью. Он теперь уже не мог представить собственного существования без Парасковьи Ивановны. Положим, что она оказывала до сих пор явное предпочтение другим — сначала Егору Егорычу, а потом Пржчу, но кто не знает, как сердце женщины изменчиво, следовательно, мог быть и третий счастливец. La donna e mobile, как говорит Лизунов. Ведь все могло быть... У «Старика» оставалась еще надежда, что Парасковья Ивановна когда-нибудь оценит его и поймет. А

если бы он выгнал ее с прииска, то все было бы кончено, и впереди не осталось бы никакой надежды. Женщины не умеют прощать подобных оскорблений, а у Парасковьи Ивановны был такой решительный характер.

Вопрос о соперниках серьезно занимал «Старика», и он даже не спал по ночам, раздумывая на эту тему. Ему рисовался целый ряд самых ужасных картин. Центром являлся везде он. Например, такая комбинация. Он намеренно говорит Пржчу дерзости и вызывает его на дуэль. Все равно один должен исчезнуть, потому что двоим оставаться нельзя. Вот он, «Старик», уже стоит на своем пункте, а в двадцати шагах Пржч... Он целится прямо ему в грудь, а Пржч наводит дуло своего револьвера прямо ему в лоб. Лизунов, в качестве секунданта, отдает команду: раз... два... три... Разом грянули два выстрела, а в результате Пржч, смертельно раненный, падает на траву. «Старик» видит, как он хватается за простреленную грудь, видит это мертвенно-бледное лицо, остановившиеся от испуга глаза и не чувствует даже жалости. Или другой пример: Пржч не принимает вызова и,

мало этого, оскорбляет «Старика» в присутствии Парасковьи Ивановны. Тогда он выхватывает револьвер, Парасковья Ивановна падает в обморок... на одно мгновение все застилается дымом выстрела... кто-то бежит... Слышится испуганный голос Лизунова:

— «Старик», что ты наделал? Ты знаешь, как я тебя люблю...

— Нет, вы не знали, господа, какой я человек. Вы думали, что я умею только молчать... О, вы совсем меня не понимали! Довольно, господа... Я слишком много терпел от вас.

Все подавлены, все перепуганы; Парасковья Ивановна успевает оправиться от своего обморока и смотрит на «Старика» испуганными глазами. Да, женщины любят только того мужчину, которого боятся. Страх и уважение для них синонимы.

Общие размышления о компаньонах тоже были невеселого характера. Прежде всего, ведь он, «Старик», желал им всем только добра и охотно делился свалившимся с неба богатством, а они ведут дело к тому, чтобы окончательно вышвырнуть его из дела, и, мало этого, открыто обвиняют его в эксплуата-

торстве. Откуда могло явиться это злобное отношение именно к нему, к человеку, который никогда и никого не желал обижать? Все поведение компаньонов представляло собой одну сплошную несправедливость. А между тем они считали себя правыми и во всем обвиняли его. Неужели блеск золота до такой степени может ослеплять людей? «Старик» напрасно подыскивал другие мотивы для объяснения и не находил их... По пути он припомнил целый ряд других компаний, кончавшихся тоже взаимными обвинениями и распадавшихся из-за пустяков. Отчего самый простой мужик всегда работает артелью лучше, чем в одиночку, а интеллигентные люди не могут? Вопрос оказывался неразрешимым. В глубине души «Старик» продолжал любить своих коварных компаньонов и жалел только об одном, что не умел этого высказать. Про себя он часто говорил пламенные речи:.

— Господа, что я вам сделал? Опомнитесь, пока еще есть время. Да... Ведь вы все хорошие люди, я в этом убежден, — зачем же нам ссориться? У нас есть общее дело, общие интересы, общее, наконец, будущее. Пойдемте

же вперед рука об руку, покажем другим, как следует жить и работать. Я даже не сержусь на вас, хотя и пережил несколько грустных минут. Не подумайте, что я хочу показаться великодушным, — на вашем месте я, быть может, был бы еще хуже. И т. д. и т. д.

Но центром всех мыслей «Старика» была все-таки Парасковья Ивановна. Он любил о ней думать, и она представлялась ему в тысяче видов, как перевоплощение всего женского рода. «Старику» казалось, что он делается и лучше и чище, когда думает о Парасковье Ивановне. Он припоминал выражение ее лица в разные моменты, походку, голос, улыбку, манеру садиться и те чисто женские слабости, какие она себе позволяла. По утрам она любила пить чай просто в утренней кофточке, повязав голову по-бабьи бумажным платком. К ней все шло, даже когда она бранилась. «Старик» дошел в своем увлечении до той роковой грани, когда люди уже теряют способность определить, красив или некрасив предмет их страсти, добр или зол, хорош вообще или дурен. Про себя он называл ее всевозможными нежными именами и повто-

рял их про себя даже в ее присутствии. Наконец, ему хотелось спасти ее от какой-то опасности, утешить в каком-то неизвестном горе и вообще проявить целый ряд геройских подвигов, лучшая награда которых — один благодарный взгляд, одно пожатие руки, одна улыбка.

Компаньоны, пока «Старик» предавался своим) любовным мечтам, не дремали. Подсчет предварительных расходов был сделан с замечательной точностью, причем бухгалтерские таланты Пржча проявились во всем своем блеске. При встречах компаньоны держали себя со «Стариком» как-то особенно вежливо, как с человеком, которому хотят произвести очень мучительную операцию. Наконец Лизунов от имени всех заявил:

— Ну, «Старик», нам пора сосчитаться и выяснить все.

— Что же, я очень рад, — ответил «Старик» как-то равнодушно.

На «веранде» было устроено что-то вроде заседания палевого суда. Председательствовал Лизунов, за секретаря был Пржч, вооруженный карандашом и бумагой, Парасковья

Ивановна изображала собой публику. «Старик» занял место подсудимого и держал себя спокойно, что подействовало на всех неблагоприятно.

— Видишь ли, друг мой, — начал Лизунов, глотая слюну, — ты знаешь, как я тебя люблю, и поймешь, как мне неприятно брать на себя роль главного обвинителя. Да... вообще... Но я считаю себя ответственным пред остальными компаньонами, которые собственно доверяли мне. Да... Дело прежде всего в том, что все мы собрались здесь на честное слово, и ты можешь даже нас выгнать.

В публике произошло некоторое движение.

— Я повторяю: ты можешь даже нас выгнать, — продолжал Лизунов, делая ударение, — потому что все велось на честном слове...

— Позволь... я... — вступился «Старик», начиная краснеть за оратора.

— Нет, уж ты мне позволь досказать все до конца, а там уже можешь говорить... То, что я высказал так откровенно, чувствовалось всеми. Прибавь к этому еще весь риск предприя-

тия, который тоже ложится на всех. Мы подсчитали твои расходы и приняли их в полном размере. Кажется, мы поступили по-товарищески?

Лизунов сделал драматическую паузу и обвел всех торжествующим взглядом. «Старик» виновато опустил глаза и ждал продолжения.

— Если бы ты, — ты знаешь, как я тебя люблю? — если бы ты был хорошим товарищем, — извини, я привык говорить правду! — то не поставил бы всех в самое фальшивое положение. Разве мне приятно все это говорить? А кто меня заставляет это говорить?

Речь Лизунова продолжалась довольно долго, и он даже прослезился, что вышло особенно эффектно. Голова «Старика» опускалась все ниже. Лизунов закончил довольно вычурной тирадой:

— По-моему, прежде всего в человеке важна совесть... Вы отлично понимаете, что я хочу сказать. Без совести нельзя жить. Теперь ты, «Старик», можешь говорить.

«Старик» поднял голову, обвел глазами присутствующих и спокойно заявил:

— Вы, господа, совершенно правы... Я ни-

чего не имею против совести. Именно совесть... это главное...

— Теперь позвольте мне, господа, — перебил его Пржч, сгоравший от нетерпения представить свой отчет. — Цифры иногда бывают красноречивее людей, и мы перейдем к ним.

Цифры, иллюстрированные остроумными комментариями из дневника «Старика», действительно оказались вполне красноречивыми, так что даже улыбался сам автор дневника. Это было уже возмутительно. Закончив отчет, Пржч прибавил:

— Мы решили принять этот отчет в полном его составе и, таким образом, являемся полноправными членами. Не будем ничего говорить о том, на что тратились деньги и как тратились, не будем называть автора этих затрат нашим эксплуататором, на что имеем полное право, а просто помиримся с фактом. Но, раз мы все это принимаем, мы требуем и соответствующих прав. Теперь каждое лицо является ответственным перед нашим обществом и каждый его поступок подлежит общему обсуждению. Я предлагаю, господа, баллотировать теперь вопрос о са-

мом праве некоторых членов компании быть таковыми и первый с особенной охотой подвергаюсь такой баллотировке.

«Старик» понял устроенную ловушку и заявил:

— Господа, я понимаю, что все это значит... все понимаю и... ухожу сам.

— Нет, баллотировать! — сразу заявило несколько голосов. — Нам: не нужно великодушия. Теперь дело общее...

«Старику» пришлось повиноваться. Баллотировочной урной служила полоскательная чашка, прикрытая носовым платком, а вместо баллотировочных шаров служили казанские орехи, без которых Парасковья Ивановна не могла жить. Первым баллотировался Пржч и получил все шары избирательные, за ним то же проделали остальные и с тем же результатом. Последняя очередь принадлежала «Старику», и он не получил ни одного избирательного шара. Это была полная гражданская смерть.

— Я ухожу... — немного дрогнувшим голосом заявил он, поднимаясь с места.

— То есть вам приходится уходить, — по-

правила его Парасковья Ивановна не без ехидства. — Вы уходите по общему решению.

«Старик» ничего не сказал и медленно вышел из «веранды», не простившись ни с кем. У него были слезы на глазах.

— Какой нахал! — заметила Парасковья Ивановна, провожая его глазами. — Вот чего я не ожидала.

А «нахал» шел к своей землянке, делая какие-то таинственные знаки левой рукой. Его голова повторяла эти движения. Это был целый диалог, которого, к сожалению, никто не слышал. Можно было предположить, что он был не менее интересен, чем дневник.

Когда Лука узнал, что «барин» уходит с «Шестого номера» совсем, то счел своим долгом «ужаснуться».

— Ах, барин, как же это самое дело?.. Ах, боже мой...

— Очень просто...

«Старик» был спокоен и смотрел на верного слугу улыбавшимися глазами. Но Лука в данном случае проявил вполне искренние чувства. Положим, он продавал барина компаньонам и многое прибавил от себя, но со-

всем не ожидал, что барин возьмет да и уйдет. У Луки вместе с предательством уживалась мистическая вера в барина — рука у него легкая на золото.

— Ах, барин, барин, — причитал Лука, — что же я, напримерно, буду делать здесь?

— Если хочешь, пойдем со мной. Будем искать новое золото...

Лука подумал, бросил шапку оземь и решительно заявил:

— Где наше не пропадало, барин. Значит, пойдемте опять обыскивать счастье...

X

Стояло крепкое осеннее утро, когда «Старик» уходил с «Шестого номера». Он нарочно выбрал раннее утро, чтобы никто не видал этого позорного отступления. Полуденка еще была закрыта туманом, но горюн уже насвистывал. Пара оседланных лошадей жалась от холода и била копытами землю. «Старик» долго смотрел на прииск, и его сердце сжималось тоской. Он не жалел собственного золота, которое оставлял, — бог с ним, — но здесь было похоронено его сердце.

— Все готово, барин, — докладывал Лука,

одетый по-дорожному.

— Я сейчас...

«Старик» побежал под гору и скрылся в тумане. Через полчаса он вернулся с большим букетом из горного шалфея и желтых болотных цветов. Через пять минут этот букет красовался на столе веранды.

Они выехали молча, и «Старик» ни разу не оглянулся, как уходят с кладбища. Он сидел в седле, согнувшись и распустив поводья. Лука про себя ругал компаньонов.

С отъездом «Старика» золото точно обрезало на «Шестом номере». Поиски и новые разведки унесли все, что было заработано раньше, и компания распалась сама собой. По слухам, «Старик» где-то далеко, на северном Урале, нашел новую золотоносную россыпь.

Ната

Глава 1

— Черт мою душу возьми, это совсем не *старатели,* нянька! — громко проговорил Борис Борисыч, оставляя дымившуюся сигару. — Посмотри, пожалуйста, кто это… а?.. Странно!..

— А кому быть-то, Борис Борисыч?.. — своим убитым голосом ответила старая Кузьмовна и только из вежливости, заслонив глаза рукой, принялась рассматривать дорогу, спускавшуюся желтой лентой с Лысой горы прямо к Мурмаровскому болоту. — Никак на паре едут… в повозке. Так и есть… Поглядели бы вы, Борис Борисыч, в свою трубочку, а я-то слепа стала.

Борис Борисыч поднялся с кресла и большими шагами отправился в контору, откуда сейчас же вернулся с пароходным биноклем в руках. Он подошел к самой решетке широкой террасы, на которой пил чай с нянькой, и, расставив свои длинные ноги, принялся рассматривать приближавшийся к приисковой конторе экипаж. Из-под чайного стола вы-

ползла великолепная черная собака, сеттер-гордон, поднялась передними лапами на решетку, понюхала воздух, вильнула пушистым хвостом и глупо принялась смотреть прищуренными глазами тоже на двигавшуюся по дороге черную точку.

— Мало ли кто едет... — ворчала Кузьмовна, прибирая чайную посуду. — Может, кто-нибудь из золотопромышленников, а может, и так кто... В третьем годе как-то охотники приезжали оленей стрелять, с собаками. Кому теперь ехать в этакую жарынь?!..

Приисковая контора была выстроена широкой русской избой на скате горы, у самого болота; с террасы открывался отличный вид на все Мурмаровское болото, на окружавшие его невысокие горы и на дорогу, которая вела в деревню Косогор. Теперь все кругом было залито ослепительным солнечным светом, как это бывает только в полдень, когда все замрет и не шелохнется, точно придавленное. От берез и кустов смородины падала густая тень; такая же тень рисовала на песке столбики террасы, длинную фигуру Бориса Борисыча и голову собаки. Старая Кузьмовна успела

прибрать всю чайную посуду, а Борис Борисыч все еще смотрел в свою трубу и несколько раз повторял про себя; «Странно... очень странно!» Собака зевала, заглядывала сбоку на хозяина и сердито морщила брови; она наконец глухо заворчала и бросилась на дорогу.

— Ильза, назад!.. — крикнул ее хозяин и торопливо застегнул свою кожаную шведскую куртку на все пуговицы.

Собака вернулась на террасу и с подавленным ворчанием улеглась у самого входа, а Борис Борисыч отошел в сторонку и спрятался за опущенную пеньковую драпировку. По пути он взглянул на свои охотничьи сапоги и сомнительной белизны рукав сорочки.

А по пыльной, изрытой дождями дороге медленно приближалась большая повозка с поднятым кожаным болком[361]. Пара измученных лошадей едва ее тащила, отмахиваясь хвостами от жужжавшего над нею овода. В глубине повозки можно было рассмотреть летнюю соломенную женскую шляпку с широкими полями — и только. «Женщина в Мурмаровском болоте...» — повторял про себя Борис Борисыч и невольно поднимал плечи и

густые брови. Его красивое, правильное лицо, тронутое первыми тенями приближавшейся старости, выражало тревогу, а голубые блестящие глаза хмурились.

Когда повозка поравнялась с конторой, из болка показалась маленькая женская рука в желтой шелковой перчатке и остановила кучера.

— Нужно спросить, куда ехать... — послышался недовольный женский голос с капризными, по-детски картавившими нотками. — Агап Терентьич, вставайте! Дальше некуда ехать... Мы совсем заблудились в этом проклятом болоте.

Борис Борисыч легкой походкой сбежал с террасы, подошел к экипажу и, вежливо раскланявшись с красивой дамой в соломенной шляпке, проговорил:

— Не могу ли я чем-нибудь служить вам, сударыня?

Из-под соломенной шляпки на непрошеного кавалера сердито глянули большие темные глаза и послышался сдержанный ответ:

— Очень вам благодарна, monsieur...

На этот короткий разговор в экипаже под-

нялась тяжелая и жирная голова с узкими темными глазками; она посмотрела несколько мгновений на Бориса Борисыча тупым недоверчивым взглядом и пробормотала:

— Ната, это что за господин?

— А вот насчет дороги, барин... — заговорил кучер, равнодушно перебирая вожжи в руках. — Барыня, значит, сумлевались и приказали спросить...

— Дурак!.. — выругалась толстая голова, без сомнения, принадлежавшая Агапу Терентьичу. — Сказано, нужно спуститься с горы, а потом кругом болота ехать — тут тебе и будут Талые Ключи. Пошел, болван!..

Повозка опять тронулась вперед, а Борис Борисыч остался посреди дороги и долго провожал глазами удалявшийся экипаж, повторяя одно слово: «Ната».

Дорога от конторы шла по самому берегу и потом терялась в ольховой заросли. Экипаж оставил за собой таявшую в воздухе мутную ленту желтоватой пыли и скоро исчез в зелени. Солнце светило по-прежнему горячо, и по-прежнему от каждой былинки тянулась тень. Борис Борисыч улыбнулся, приподнял свою

шляпу и машинально повторил свой вопрос:

— Сударыня, чем могу служить вам?

Он видел незнакомую даму только мельком, но успел рассмотреть, что она была хороша, даже очень хороша, хотя и не первой молодости; притом эта таинственная Нага по всем признакам принадлежала к хорошему семейству... В ушах Бориса Борисыча долго стоял этот кокетливо картавивший женский голос и какое-то необыкновенно выразительное, бледное лицо, которое рядом с круглой рожей Агапа Терентьича особенно резко выделялось своей артистической тонкостью линий.

— Красивая барышня проехала! — заметила Кузьмовна, когда барин шагал по террасе с сигарой в зубах. — Видно, с тятенькой проезжает... И образина только, Христос с ним!..

Над горами, над болотом и над лесом быстро спускался короткий летний вечер, а барин все ходил по террасе с сигарой в зубах и время от времени задумчиво крутил свой седой ус. Кузьмовна давно унесла потухший самовар и посуду, потом подала обед, но Борис Борисыч едва попробовал ее стряпню и опять

принялся сосать сигару. Приходил кучер Захар с докладом о том, что гнедой «виноходец» расхлябился на левую переднюю ногу и надо бы его перековать в Косогорах.

— Завтра съездишь и перекуешь... — ответил барин как-то нехотя, чем Захар был очень обижен.

После Захара явился помощник Бориса Борисыча, молодой человек по фамилии Белоусов, и почтительно доложил, что новая шахта под горой Медведкой быстро подвигается вперед.

— Очень быстро? — рассеянно спросил Борис Борисыч.

— Так точно-с... На двадцать восьмую сажень перевалили.

— Странно... то есть я хотел сказать: превосходно...

Белоусов, рябой и вихлястый малый, обладал замечательным малодушием и постоянно смущался в присутствии Бориса Борисыча, как самая застенчивая девушка. Это всегда забавляло Бориса Борисыча, и он старался приручить к себе этого малодушного человека разными способами, главным образом разго-

ворами с ним — последнее составляло для Белоусова истинную пытку. Кончив доклад, Белоусов совсем направился было к выходу, счастливый тем, что так дешево отделался на этот раз, но с полдороги Борис Борисыч вернул его вопросом:

— Белоусов, позвольте, куда же вы бежите от меня?

— Я ничего-с... — пролепетал несчастный молодой человек и вернулся.

— Что я тебя хотел спросить... позволь... — думал вслух Борис Борисыч, ероша волосы на голове.

— Не могу знать-с!.. — ответил Белоусов и сейчас же закраснелся от стыда за неспрошенную глупость.

— Да, да... Ах, вот что: до Талых Ключей отсюда сколько будет верст?

— Летом верст десять будет... а зимой рукой подать, ежели через болото-с.

— Так... А там чей прииск был?

— Прииск-с?.. Кажется, купца Бабкина-с. Незабвенный-с называется. Да он, сказывали, с торгов пошел, потому как сам Бабкин умер, а наследникам это неспособно.

— Так, так... Что же там, на этом Незабвенном, контора есть, ну, одним словом, есть где жить?

— Есть и контора-с... только очень ветхое здание-с. Будто как одно название, что контора. Две шахты заложены были, а теперь они водой залиты-с.

Борис Борисыч несколько времени молчал, а потом со своей обычной улыбкой прибавил:

— Белоусов, вы очень неглупый человек...

Эта шутка заставила Белоусова вспыхнуть вместе с ушами, и он торопливо скрылся, как пойманный на месте преступления.

Глава 2

Солнце быстро клонилось к западу и точно скуталось в золотую парчу пурпурового заката. От болота потянуло сыростью, птицы смолкли, и только одни неугомонные дятлы продолжали долбить сухую старую ель, стоявшую в двух шагах от конторы, как привидение. Прииск Валежный никаких особенных красот собою не представлял: контора, как мы уже сказали, стояла на самом берегу Мурмаровского болота; за ней зеленой стеной

подымался бесконечный ельник; впереди высилась Лысая гора: рядом с ней крутая гора Медведка, а на горизонте, на другом берегу Мурмаровского болота, неправильной синеватой полоской тянулись три горы, известные под общим именем Талых Ключей. Эта однообразная и по-своему печальная картина оживлялась только приисковой дорогой, двумя шахтами под Медведкой, заброшенной шахтой на Валежном и приисковыми постройками.

На Валежном, кроме конторы, были выстроены казарма для рабочих, конюшни для лошадей и еще два амбара специально для хранения разного приискового скарба. Вечером около конторы в живописном беспорядке около горевших огней располагались пестрые кучки рабочих, слышался веселый говор, тренканье балалайки и постоянно вставала длинная-длинная, как этот лес, проголосная песня, надрывавшая душу. Борис Борисыч любил по вечерам сидеть на своей террасе и без конца дымить сигарой, но сегодня он ушел к себе в комнату и весь вечер пролежал на походной кровати: ему хотелось остаться одно-

му, чтобы с головой погрузиться в то созерцательное настроение, какое переживают по вечерам все старые холостяки. В самом деле, хороший летний вечер всегда напоминает нам картины тихого семейного счастья — самовар на столе, розовые лица детей, присутствие женщины-матери, маленькие семейные радости и большие заботы. Сегодня Борису Борисычу показалось особенно тяжелым его холостое одиночество, и его под пятьдесят лет давили, как пятьдесят кирпичей. С одной стороны, у самого неисправимого холостяка есть теплые детские воспоминания, с другой — в воображении рисуется бесконечный ряд картин чужого семейного счастья, освещенного и скрепленного трудом для семьи и детскими улыбками.

Когда Борису Борисычу делалось скучно, он открывал свой книжный шкаф, выбирал какую-нибудь умную книжку и убивал время чтением. Этим способом наполнялась сосавшая его пустота, но сегодня и это патентованное средство не помогло — книга полетела в угол, где стоял железный ящик с деньгами.

— Одно это свинство... — ворчал Борис Бо-

рисыч, раскуривая третью сигару.

Он подошел к раскрытому окну и долго смотрел на дымившееся туманом болото, на мерцавшие в небе звезды, на потухавшие около казармы огни. Тянувшая в окно струя ночного воздуха несколько освежила его, но ему сделалось еще скучнее, точно он сегодня потерял что-то такое дорогое. Контора осветилась зеленой лампочкой, и со всех сторон выглянули такие знакомые и давно надоевшие предметы походной приисковой обстановки: железная касса, складная кровать, полки с книгами, карта на стене, письменный стол, вечно покрытый слоем пыли, дремавшая на ковре Ильза, английская двустволка на стене. Борису Борисычу было обидно главным образом то, что его взволновало и выбило из колеи совершенно ничтожное обстоятельство: увидел какую-то сомнительную женскую шляпу и затосковал.

О чем, спрашивается? Разве порядочная согласится ехать в эту медвежью глушь в сопровождении такого урода? Это, наверно, какая-нибудь куртизанка или просто потерянная женщина.

— Нет, она не куртизанка... нет, нет, нет! — протестовал внутренний голос.

Таинственная Ната заинтересовала Бориса Борисыча просто потому, что он уже целых три месяца, кроме деревенских баб, не видал ни одной женщины, а тут точно с неба свалилась настоящая цивилизованная дама в желтых перчатках и в соломенной шляпе. Нужно заметить, что Борис Борисыч питал большую слабость к женщинам и, в качестве старого холостяка, не стыдился признаваться в этом откровенно. Промелькнувшее, как в тумане, красивое и характерное женское лицо расшевелило в кем ту артистическую жилку, которая для людей этого сорта составляет истинное несчастье. Интерес увеличивался даже такими ничтожными обстоятельствами, как артистическое полуимя «Ната» и какая-то таинственная обстановка появления в обществе этого урода Агапа Терентьича.

— Странно, да, очень странно... — повторял Борис Борисыч, усаживаясь к столу проверять какой-то мудреный чертеж приисковой машины.

Ему пришлось с полчаса усиленно сосредо-

точивать свое внимание, пока встревоженная мысль не вошла в свою колею и на бумагу посыпались обычным чередом целые столбцы всевозможных вычислений и формул. Короткая летняя ночь сменилась серым и гуманным утром, а Борис Борисыч все сидел за работой, пока не почувствовал той приятной усталости, которая дает мертвый сон. Он, не раздеваясь, бросился в свою постель и проспал богатырским сном до самого полудня, когда солнце начало сильно жечь ему свесившуюся с кровати руку. Борис Борисыч быстро вскочил на ноги, как это делают все старые военные, и долго не мог сообразить, что с ним случилось вчера, что заставило уснуть, не раздеваясь?

— Уж не напился ли я пьян? — соображал он, ощупывая свою голову. — Нет, не то... Черт знает, что такое!..

Вспомнив про Нату, он сам засмеялся своей сумасшедшей глупости и позвонил. Явилась Кузьмовна с умывальником и полотенцем.

— Ну, нянька, давай самой холодной воды!.. — весело заговорил Борис Борисыч, пред-

вкушая удовольствие умывания.

— Ключевая вода, как лед!

— Отлично, нянюшка!

Борис Борисыч снял с себя куртку, расстегнул ворот рубашки, засучил рукава выше локтей и только хотел приступить к операции умывания, как Кузьмовна проговорила:

— А вас давно ждут…

— Кто ждет?..

— А вчерашний господин, который ехал с барышней… На терраске сидят вот уже второй час. Очень, говорят, нужно!..

— Что же ты меня не разбудила? Отчего не сказала сейчас же, как вошла?.. Ах, какая ты странная, нянька!..

Глава 3

Борис Борисыч бросил умываться, быстро натянул на себя куртку и вышел на террасу, где его, действительно, ждал Агап Терентьич, имевший сегодня такой убитый вид, что в первый момент Борис Борисыч даже не узнал его.

— Чем могу служить вам? — проговорил он стереотипную фразу с вежливостью светского человека.

Агап Терентьич как-то смешно заморгал своими свиными глазками, схватил обеими руками руку Бориса Борисыча и заговорил встревоженным, немного хриплым голосом:

— Спасите, спасите меня... то есть спасите ее, Борис Борисыч! Я совсем не знаю, что делать... Вероятно, это случилось с дороги. Ната не привыкла к дальним дорогам... да. Все было ничего, все была спокойна, даже радовалась, а как приехали на место... Там есть изба, — ничего, жить можно! Ну, с ней сейчас припадок...

— Какого сорта припадок?

— Ей-богу, не умею вам сказать... Раньше этого не бывало с ней, а тут вдруг! Сначала плакала и капризничала...

Агап Терентьич огляделся кругом и с выразительной улыбкой, лукаво подмигнув глазом, прибавил:

— Да-с, мы немножко бываем капризны... хе-хе!.. Может быть, мне не следовало бы говорить это совсем незнакомому человеку, но войдите в мое положение... Ужасный припадок: конвульсии, рыдания, столбняк. Я совсем потерял голову, доктора взять негде, и вот я

бросился к вам...

Эта глупая болтовня неприятно подействовала на Бориса Борисыча, и он недоверчиво рассматривал мешковатую фигуру своего собеседника, его парусиновый балахон, круглую шапочку на голове, охотничьи сапоги, покрытые пылью, глупое жирное лицо с какими-то рыжеватыми, по-солдатски подстриженными усами и необыкновенно развитую нижнюю челюсть. Мешки под глазами, подозрительный цвет мясистого носа и жирные складки отвислых щек и трехэтажного подбородка.

— Извините, я ничего не понимаю, а меньше всего — чем я могу быть полезным вам? — довольно сухо ответил Борис Борисыч, когда Агап Терентьич принялся неистово вытирать свое круглое лицо носовым платком сомнительной белизны.

— А что же я буду с ней делать в лесу?.. Я обратился к вам, как к образованному человеку... Может быть, у вас есть какие-нибудь капли или порошки. Это иногда очень помогает женщинам...

— Вы как сюда приехали?

— Верхом приехал... вот изволите видеть, какая пыль по дороге. Сломя голову мчался... Я не смею, конечно, вас утруждать, но если бы вы согласились лично навестить больную... Да, в этих случаях одно присутствие постороннего человека иногда помогает. Уверяю вас...

Борис Борисыч поднял плечи в знак удивления и только что-то промычал. У него была своя походная аптечка, но возиться с каким-то нервным припадком капризничавшей женщины... В смущении Борис Борисыч достал машинально сигару, раскурил ее и предложил такую же своему гостю.

— Благодарю, — ответил гость и сейчас же взял сигару с той особенной развязностью, с какой берут их подозрительные личности, привыкшие курить чужой табак. — А ведь Ната умирает... Может быть, она уже умерла... Ради всего святого, спасите ее, Борис Борисыч!.. Ведь это какая женщина, если бы вы знали... Едемте, ради бога!.. Это совсем недалеко...

Агап Терентьич опять схватил Бориса Борисыча за руку и по пути трагическим же-

стом смахнул навернувшиеся на глаза слезы.

— Хорошо, хорошо... — соглашался Борис Борисыч и велел Захару седлать своего гнедого иноходца.

Через полчаса с Валежного по дороге к Талым Ключам помчались два всадника. Борис Борисыч держался в седле молодцом и только сдерживал свою горячившуюся лошадь; Агап Терентьич галопировал рядом с ним на какой-то отчаянной кляче, подогнув коленки и смешно болтая локтями в воздухе. По сторонам широким махом неслась Ильза, обнюхивая по пути все кусты и кочки. Дорога шла по берегу болота, минуя большой лес; попадались гривки молодых березняков, одиноко торчавшие сосны, кусты жимолости и купы рябины. Во многих местах дорога шла по голому камню, и лошади выбивали подковами синие искорки. Солнце палило нещадно, но Борис Борисыч, увлеченный этой импровизированной поездкой, ничего не замечал, — через полчаса, самое большее, они должны были быть на месте, и он несколько раз хватался за свою дорожную сумку, в которой лежала аптечка.

— Я ведь купил Незабвенный с аукциона... — задыхаясь и распустив поводья, несколько раз повторял Агап Терентьич. — Ух, какая проклятая дорога! Если бы знал, ни за какие деньги не поехал бы в такую трущобу... Нужно работать, а тут припадок!

— Извините нескромный вопрос: эта дама как вам будет? — спрашивал Борис Борисыч, занятый своим рядом мыслей.

— Это вы про Нату?

— Да...

— Гм... как вам сказать... — замялся Агап Терентьич и сделал сердитое лицо. — Она мне и жена и не жена... совсем особенный случай. Но какая женщина, если бы вы могли только себе представить!.. Это ангел, да. Все было ничего, а тут вдруг рыдания, истерика, столбняк.

— Вы сюда-то откуда приехали?.. Впрочем, я не имею права на такие вопросы.

— Отчего же-с... Мы дальние будем... Из Петербурга с первым пароходом приехали, ну, а тут подвернулся удобный случай... Отчего же и не попытать счастья! На имя Наты и прииск купил... Счастье тоже ведь самая каприз-

ная из женщин.

— Странно... А раньше вам не случалось заниматься золотопромышленностью?

— Нет... я служил.

— Да?.. В таком случае я должен вас предупредить, что вы очень рискуете своими средствами. Наше дело самое неверное... Главное, нужна громадная практика. Я вот около десяти лет безвыездно всякое лето живу на прииске и все-таки не могу поручиться за свои знания.

— Все от счастья зависит...

«Он глуп, как баран», — подумал Борис Борисыч и дал полный ход своему расходившемуся иноходцу, так что оставил своего спутника далеко позади и приехал на прииск первым.

Прииск «Незабвенный» представлял собой очень грустную картину как издали, так и вблизи: у подножия лесистой горки стояла вросшая в землю, совсем сказочная избушка с гнилой крышей, без окон и без дверей, затем торчали одни стены развалившейся казармы, несколько столбов от навеса, и в нескольких шагах от этих построек шла желтая насыпь

от двух шахт, заложенных в полугоре. Перед прииском расстилалось то же Мурмаровское болото, а на горизонте вставали голубой лентой невысокие лесистые горки. Теперь картина оживлялась экипажем Агапа Терентьича, стоявшим между конторой и развалинами казармы, да щипавшей траву лошадью; кучер спал в повозке, вытянув голые ноги на свое кучерское сиденье. Еще издали Борис Борисыч успел заметить белые кисейные занавески па окнах и спущенную драпировку, закрывавшую дверь.

Привязав лошадь к столбу, Борис Борисыч только что хотел вбежать на покосившееся крылечко, как в дверях показалась сама Ната. Она была в белом пеньюаре и, очевидно, не успела еще привести своей головы в порядок, потому что великолепные каштановые волосы были свернуты просто узлом. Она оглянула незнакомца с ног до головы и совершенно серьезно спросила:

— Вам что угодно, милостивый государь?..

— Позвольте сначала отрекомендоваться: Борис Борисыч Локотников, ваш сосед по прииску.

— Очень приятно... — протянула заспанным голосом Ната и чуть заметно улыбнулась углами своего красиво очерченного рта.

— Вас удивляет мое неожиданное появление, но я спешил сюда, как на пожар, потому что ваш... ваш...

Конец фразы совсем застрял в горле Бориса Борисыча, потому что он никак не мог назвать Агапа Терентьича мужем этой элегантной красавицы. Это смущение заставило Нату расхохотаться, что еще больше обескуражило Бориса Борисыча, улыбнувшегося самым глупым образом, как может улыбаться человек, попавший в чертовски неловкое положение.

— Это все Агап Терентьич напутал... — проговорила наконец Ната, когда пароксизм смеха миновал. — Теперь уж мне приходится извиняться перед вами за совершенно напрасное беспокойство: как видите, я совершенно здорова. Ха-ха!.. Извините меня, но, право, это походит на какой-то плохой водевиль с переодеваниями, провалами и превращениями. Агап Терентьич просто глуп и только напрасно побеспокоил вас...

Ната проговорила все это очень кокетливо

и, называя своего спутника по имени, каждый раз делала очень смешную гримасу, как это делают избалованные дети. Без сомнения, она была записная кокетка, как все хорошенькие женщины, и кокетка не из особенно хитрых, хотя эта маленькая глупость показалась очень извинительной в глазах Бориса Борисыча, и он проговорил:

— Еще раз извините, madame, за мое водевильное участие и позвольте мне проститься с вами...

Борис Борисыч не без ловкости поднял свою шляпу, но Ната остановила его вопросом:

— Куда же это вы собрались?.. Ах, какой странный человек... Да вон и Агап Терентьич ползет на своей кляче. Не забывайте, ради бога, что я очень больна...

Агап Терентьич, действительно, в этот момент подъезжал на своей измученной лошади и как-то подозрительно посмотрел сначала на Нату, потом на Бориса Борисыча.

— Ната, ты, кажется, с ума сошла... — строго проговорил он и сделал совсем сердитое лицо. — Не угодно ли тебе отправиться на

свое место, а мы здесь посоветуемся...

Ната подняла вопросительно плечи, опустила глаза и, придерживаясь за косяк, скрылась за драпировкой. Агап Терентьич ревниво посмотрел ей вслед и глухо проговорил, не обращаясь собственно ни к кому:

— У нас всегда так... это просто сумасшедшая женщина!.. Изволили видеть?.. Вперед знаю, что она говорила здесь вам: и что она совсем здорова, и что я по своей глупости напрасно только потревожил вас... да?.. Нет, решительно у ней голова не в порядке... Вы как думаете?

— Очень мудреный вопрос для первого раза, тем более, что я видел больную каких-нибудь пять минут!..

— И достаточно, совершенно достаточно!.. Сумасшедшего человека видно с первого взгляда... Обождите одну минуточку, я сейчас!

Оставив гостя у крылечка, Агап Терентьич на цыпочках прокрался в контору и плотно прикрыл за собою занавесочку. Борис Борисыч присел на обрубок дерева, валявшийся у крыльца, и машинально пощупал свою го-

лову, чтобы убедиться в своем бодрствовании, — все происходившее с ним так походило на какой-то бессвязный и порядочно глупый сон. Но нет, он совсем не спал: утреннее солнце светило так весело, кругом зеленела трава, в двух шагах в кустах калинника заливались какие-то крошечные серые птички, два комара больно присосались к его руке; наконец, этот экипаж с дрыхнувшим кучером, стреноженная лошадь, собственная усталость от скорой верховой езды. Было еще довольно рано, в тени на траве блестела роса, а болото не успело раздеться от ночного тумана, начинавшего волноваться белыми полосами.

— Она заснула... — шепотом заявил неожиданно появившийся Агап Терентьич, наклонившись к самому уху гостя. — Боюсь, чтобы это не кончилось летаргией. Извините, пожалуйста: я, может быть, говорю глупости и преувеличиваю, но ведь это свойственно в некоторых случаях... А мы пока напьемся чайку, — неожиданно прибавил он уже совершенно другим тоном.

Агап Терентьич грубо растолкал спавшего

кучера, вытащил откуда-то самовар и походный поставец с чайной посудой.

— Мою жену зовут Натальей Игнатьевной... — болтал он, располагаясь с поставцом на траве: — она очень нежного воспитания... это была большая ошибка со стороны родителей. Да... Но, с другой стороны, кто мог бы ожидать, что Нате приведется вести цыганскую жизнь? Большая ошибка, очень большая... Я ведь Нату носил еще на руках, когда она была маленькой.

Эта болтовня наконец взорвала Бориса Борисыча, и он с грубой откровенностью заявил, что не имеет никакого желания выслушивать семейные дрязги и что сейчас же вернется обратно.

— Вы меня поставили черт знает в какое дурацкое положение! — горячился он, прислушиваясь к собственным словам. — Я ничего не понимаю здесь и не желаю понимать...

— Ах, боже мой, боже мой! — затопал Агап Терентьич и схватился за свою круглую голову. — Борис Борисыч, поставьте, ради всего святого, себя на мое место!.. Войдите в мое положение!..

Глава 4

Борис Борисыч имел самое твердое намерение плюнуть на все и уехать сейчас же, а между тем вышло как-то так, что он остался. Как это случилось — трудно объяснить... По крайней мере, так думал Борис Борисыч, возвращаясь к себе на Валежный, хотя в душе и не раскаивался за свое поведение. Но мы опережаем события и поэтому вернёмтесь к тому моменту, когда кучер ставил самовар, Агап Терентьич суетился около чайной посуды, а Борис Борисыч лежал, вытянувшись во весь рост, на траве. Ната спала, и разговор шел сдержанно, вполголоса.

— Она скоро проснется... — повторял десять раз Агап Терентьич с умоляющим жестом. — У Наты удивительный сон: какими-то припадками. Сидит, разговаривает и вдруг засыпает, как убитая. Будить ее очень опасно в это время...

— Послушайте, вы что же будете теперь делать на прииске? — перебил его Борис Борисыч.

— Как что: работать...

— Именно?

— Во-первых, необходимо откачать воду из старых шахт, потом произведем подробную разведку...

— Да ведь нужно знать, как это делается?

— Человек такой есть... есть человек.

Самовар поспел; Агап Терентьич торжественно заваривал чай и с улыбкой подал дымившийся стакан своему «доктору поневоле». Выпив стакан, Локотников взглянул на свои часы, — было ровно девять часов: значит, он имел удовольствие проболтать с этим болваном битых полтора часа. Нет, решительно нужно было убираться отсюда.

— У вас на Валежном работает компания? — осведомился Агап Терентьич. — «Локотников и К°». Еще в Петербурге слышал, но никак не предполагал, что судьба приведет встретиться. Да-с... Очень сильная компания, и работы производятся в широких размерах.

— Ну, мне решительно некогда оставаться здесь дольше... — заявил Локотников, поднимаясь с земли.

Агап Терентьич не протестовал, а только указал глазами на крылечко конторы, где стояла, закутавшись в оренбургский платок из

козьей шерсти, сама Ната.

Она спустилась с крылечка усталой поступью и молча протянула свою маленькую холодную, как лед, руку; лицо у ней было бледно, и только горели одни глаза влажным лихорадочным блеском. Это была совсем другая женщина, и Локотников в первую минуту совсем не узнал ее. Да и держалась она как-то совсем странно, точно боялась этого урода Агапа Терентьича.

— Здесь разыгрывается очень глупая трагикомедия, m-r Локотников, — на чистейшем французском языке проговорила Ната, кутаясь в свой платок, — но это не мешает мне быть действительно больной...

Агап Терентьич покраснел, сморщился и, не давая возможности ответить, с сдержанной грубостью заметил:

— Наталья Игнатьевна! Я, кажется, уже не раз предупреждал вас, что говорить по-французски в присутствии человека, который не знает ни слова, больше чем невежливо.

— Виновата... я забыла... — виноватым голосом ответила Ната и в смущении опустила свои чудные глаза. — M-r Локотников! Я хоте-

ла сказать вам, как у меня ужасно болела голова... Это от дороги, конечно, потому что мы ехали по такой ужасной, адской дороге.

— У тебя разболелась сначала левая половина головы, — объяснял Агап Терентьич с самым суровым видом, — потом боль перешла в затылок... потом начались конвульсии...

— Если не ошибаюсь, у вас невралгия? — перебил Локотников, сильно возмущенный грубым поведением Агапа Терентьича.

— Да, да... Невралгия, усложненная пороком сердца, — пояснила Ната, стараясь смотреть в сторону.

— Именно порок сердца... — согласился Агап Терентьич и подозрительно посмотрел на Локотникова, который полез в карман за аптечкой.

— Все, что я могу сделать для вас, это предоставить в полное ваше распоряжение мою аптечку, — торопливо проговорил Борис Борисыч, делая большое усилие над собой, чтобы не сказать какой-нибудь дерзости этому невозможному супругу. — Во всяком случае, необходимо обратиться за советом к врачу, а я не могу поручиться за счастливый ис-

ход...

— Нет, ничего, все пройдет, — заметила Ната, внимательно рассматривая пузырьки с лекарствами.

Объяснив наскоро действие привезенных средств, Борис Борисыч начал прощаться, — он решительно не в состоянии был оставаться здесь ни одной минуты. Вся эта фальшивая обстановка резала ему глаза своей нелепостью, да и вмешиваться в чужие дела он был не охотник, предпочитая всему на свете свой собственный покой, как все неисправимые эгоисты. Он видел, что этот Агап Терентьич ревнует его, а Ната боится и обманывает Агапа Терентьича; оставалось одно — отступить. Как известно, последнее средство есть самый верный секрет всех победителей. На прощание Ната подарила своего невольного доктора таким долгим и говорящим взглядом, что для одного такого взгляда можно было проскакать верхом целую сотню верст.

— Странно, черт мою душу возьми... — повторял Локотников несколько раз, возвращаясь к себе на Валежный.

Где-то далеко в стороне глухо погромыхи-

вала набежавшая тучка; воздух стоял неподвижно, как расплавленный свинец; над болотом: столбами крутились целые тучи комаров; пахло осокой и шалфеем. Перед грозой в лесу бывает всегда так хорошо, точно все кругом начинает куриться благовонными испарениями. Ехать верхом в это время настоящее наслаждение, и Борис Борисыч с особенным удовольствием всей грудью набирал воздух, перебирая в уме нелепые подробности своей глупой поездки. Французская фраза Наты сталкивалась с подозрительным взглядом Агапа Терентьича; кокетство женщины, привыкшей быть красивой, — с грубостью какого-то бурбона или лавочника; потом эта странная болезнь, подозрительная обстановка, и над всем этим, как солнечный луч, этот ласковый, чудный взгляд, который заставлял Бориса Борисыча еще и теперь чувствовать прилив какой-то странной теплоты.

— Да, черт возьми... история! А эта Ната, кажется, видала виды...

Центром всех размышлений нашего героя оставалась все-таки эта таинственная женщина с пороком сердца, как она сама объяс-

нила свою сложную болезнь. Параллельно с мыслями о ней в душе Бориса Борисыча вставала целая вереница непрошеных воспоминаний, где в разных видах являлась главным действующим лицом все она же, то есть женщина. Да, Борис Борисыч любил женщин и не мог, с своей стороны, пожаловаться на недостаток внимания противной стороны: он пожил в свою долю и широко пожил, так что теперь не без основания мог смотреть на мир и людей с некоторой философской точки зрения. Из тумана воспоминаний и грез счастливой, беззаботной юности на него глядели русые, белокурые и черноволосые головки с дрожавшей на губах улыбкой, с ласковым шепотом, которого не знает одинокая и угрюмая старость... Где все это? Все исчезло, как утренний туман, растаяло, как прошлогодний снег, оставив в душе неопределенное чувство философской грусти и не научив ничему; даже хуже — эти ошибки служили только основанием громоздившихся на них новых ошибок. Ната являлась в этой роковой цепи последним звеном, и Борис Борисыч боялся нового чувства, потому что именно оно могло доко-

нать его, как непосильная ноша: старость сказывалась, смешная и жалкая в своих непосильных увлечениях.

Нужно сказать, что Локотников был когда-то женат, но разошелся с женой и теперь жил старым холостяком, уверив себя, что все кончено, пережито и сдано в архив. Новых увлечений, конечно, не могло и быть, так что Борис Борисыч часто сравнивал себя с застрахованным от огня домом. Женился он не первой молодости, но не сошелся с женой; к другим женщинам относился скептически, хотя и не отказывался от женского общества.

— Вострый еще у тебя глаз-от... — говорила иногда Кузьмовна, поглядывая на барина. — Скучно одному-то век коротать.

— Старик я, нянька...

— Старые-то еще похуже будут молодых, ежели азарится... да.

На прииски Локотников уехал отчасти для того, чтобы избавиться от надоевшей ему городской суеты. Средства у него были, и он решился посвятить остаток энергии на новое дело — приисковая жизнь тянула его своей пестрой бродячей складкой. Между прочим, у

Локотникова созрела одна счастливая идея об эксплуатации жильных месторождений золота на Урале, что в результате должно было дать колоссальное богатство.

Раздумавшись, Борис Борисыч совершенно не заметил, как доехал до своего прииска, который показался ему сегодня настоящим медвежьим углом: глухо, неприятно, уныло было все кругом, — настоящий медвежий угол, и он, приподнявшись в стременах, невольно посмотрел через болото в ту сторону, где синели Талые Ключи. Туча прошла боком, пахнуло свежим ветерком, и синевшая даль рисовалась в каком-то радужном сиянии.

Глава 5

Благодаря этой странной встрече знакомство между двумя приисками завязалось, хотя на Незабвенном многое очень шокировало Бориса Борисыча, — больше всего, конечно, присутствие этого грубого животного, как он называл Агапа Терентьича. Впрочем, там явилось еще третье лицо, которое служило только одной нотой в общем концерте, — это был именно тот самый «человек», на скромной обязанности которого лежало

знать, кажется, все на свете, начиная с золотопромышленности. Его все называли просто Anatole. Это был безукоризненный молодой человек без всякого возраста, молчаливый, сосредоточенный, с вставными зубами и всегда одетый по картинке. Для Бориса Борисыча навсегда осталось тайной — кто и откуда этот Anatole, какая его профессия, чем он связан с оригинальной четой, поселившейся на Незабвенном. Ясно было одно, что, несмотря ни на свой изысканный костюм, ни на безукоризненные манеры, Anatole как-то весь, всей своей фигурой, производил самое фальшивое впечатление, точно и блестящие черные глаза были у него чужие, и завинченные шильцем черные усики, и матовый лоск смуглой кожи, и даже подобранная волос к волосу головная прическа. Агап Терентьич фамильярно хлопал Anatolя по плечу, Ната распоряжалась им, как слугой, и только брезгливо щурилась, когда Anatole сквозь свои фальшивые зубы шепеляво процеживал какой-нибудь мертвый анекдот или чужую остроту.

По временам Anatole исчезал с прииска на несколько дней и появлялся с таким жалким,

измятым лицом и какими-то мутными, стеклянными глазами. У этого подозрительного молодого человека хороши были только одни руки — белые и мягкие, как у женщины, с длинными пальцами и розовыми, тщательно обточенными ногтями.

— Anatole может сделать что угодно! — восхищался им Агап Терентьич в глаза и за глаза. — Удивительно способный молодой человек... Он у нас в числе компаньонов, — и посмотрите, как он отлично поведет дело на прииске!

Действительно, всеми работами на прииске заведовал Anatole, хотя для первого раза и не проявил никаких особенно гениальных способностей. Из старых шахт откачивалась вода, заложена была новая шахта — и только. Человек двадцать рабочих жили в землянках или в балаганах, покрытых берестой и еловой корой. Пока о золоте нечего было и думать, потому что, видимо, дело затевалось в широких размерах.

— Вам не нравится Anatole? — спросила Ната однажды, когда они бродили по прииску вдвоем с Борисом Борисычем.

— Почему вы так думаете?..

— Да я уж вижу по вашему лицу...

Она тихо засмеялась и очень крепко оперлась на руку своего кавалера, потому что предстояло перейти какую-то канавку по двум жердочкам.

— Он имеет за собой одно неоспоримое достоинство, — задумчиво прибавила Ната, освобождая свою руку.

— Какое?

— Самое лучшее в наших женских глазах: смелость... А вы и не подозревали?.. Виновата, я веду себя непростительно: превосходство не для одних женщин совершенно непосильное бремя; мужчины тоже не умеют прощать, если в их присутствии хвалят других мужчин. Так?

Шутка вышла довольно натянутая, и Борис Борисыч только пожал плечами. Ната иногда поражала его некоторыми неуместными выходками, совсем уже не гармонировавшими с общим выдержанным тоном. Впрочем, она всегда первая замечала свою ошибку и спешила ее загладить одной из тех милых глупостей, какие прощаются хорошеньким женщи-

нам. В результате получались очень смешные сцены, содержание которых не передал бы ни один философ. Одним словом, Ната начинала нравиться Борису Борисычу, и, по-видимому, он тоже нравился ей, по крайней мере он так думал, принимая во внимание отдельные фразы, крепкие рукопожатия, смущенные взгляды, лукавые улыбки и подавленные вздохи. Борне Борисыч, нужно отдать ему справедливость, умел держать себя с женщинами, то есть умел показать свое внимание как раз настолько, чтобы не надоесть, разгадывал с чуткостью воспитателя все капризы, улыбался милым глупостям, а главное — владел секретом поставить себя на известной высоте, что служит непременным условием успеха у женщин и что не принимается во внимание влюбленными новичками. Ната чувствовала присутствие любящей и сильной мужской руки в тысяче совсем незаметных для постороннего глаза мелочей и улыбалась счастливой улыбкой, точно она попала в новое воздушное течение, где самый воздух берег и лелеял каждый ее шаг. Неизвестная рука доставляла на Незабвенный южные плоды,

лакомства, книги, цветы и даже игрушки.

Любимым, удовольствием Бориса Борисыча были прогулки верхом, когда он ездил рядом с Натой; обыкновенно такие прогулки совершались под надзором сонного Anatolя, который ехал за ними в приличном отдалении, а часто совсем отставал, хотя никогда не терял их из виду.

— Это наш грум! — смеялась Ната, всегда розовая и сияющая от верховой езды. — Агап Терентьич поставил непременным условием наших экскурсий, чтобы Anatole вечно торчал у нас на глазах... Конечно, эго глупо, но в жизни приходится пользоваться тем, что под руками.

Раз, когда они заехали в какую-то лесную глушь, Ната расшалилась, как школьник, она первая завела разговор на тему, которая неотступно мучила и терзала Бориса Борисыча с первой их встречи.

— Послушайте, Борис Борисыч: я в долгу перед вами... — заговорила Ната с серьезным лицом. — Вы просто балуете меня, но поверьте, что я все умею понимать и ценить... Другой на вашем месте давно принялся бы разве-

дывать о моем прошлом, о моих отношениях к этому... уроду, и тысячу раз поставил бы меня в неловкое положение. Я ценю вашу деликатность, Борис Борисыч... так поступают только истинные друзья... Скажу больше: я вижу, как вас мучит моя обстановка, собственно, таинственность этой обстановки, потому что вы многого не понимаете. Случается так, что вы и на меня смотрите таким подозрительным взглядом... не правда ли?.. О, я отлично вижу все и все понимаю!..

Они ехали по широкой речной долине, где когда-то был казенный прииск. Теперь можно было рассмотреть только глубокие ямы от выработок, заваленные шахты, поросшие молодым сосняком, отвалы и перемывки; небольшая речка была совсем запущена лозняком, смородиной, ольхой и кустами малины. Направо высилась каменистая горка, налево старый еловый лес, дремавший в глубокой логовине. Вообще место было оригинально своей суровой красотой и наводило тоску следами брошенной человеческой работы; заросшая травой и мохом приисковая дорога ползла между ямами и отвалами, как зеленая

змея. Чтобы идти рядом, лошади должны были жаться очень близко друг к другу. Борис Борисыч опустил поводья и молча выслушивал признания своей спутницы; он отвечал на ее вопросы только наклонением головы, потому что сам сильно волновался, со страхом ожидая какого-то удара.

— Я вам все расскажу, как брату... — повторила Ната, — а потом казните меня... Я не оправдываюсь, не напрашиваюсь на сочувствие, не ищу выхода. Начну с детства... По происхождению я дочь князя Корчевского, из литовских выходцев. Отец разорился на каких-то спекуляциях и существовал только жалованьем в качестве военного генерала. Воспитание я получила в институте... Когда я была маленькой, отец жил еще богато, и я как теперь вижу, как Агап Терентьич по целым часам торчал в нашей передней вместе с денщиком и курьером. Он был военным фельдшером в полку. Такой некрасивый, приниженный всегда! Мы всегда смеялись над ним... Да, как это было давно!.. Матери у меня не было, а всем домом управляла немка-экономка, самая подозрительная особа, пользо-

вавшаяся в нашем доме всеми привилегиями маленькой жены. Когда я вернулась из института к отцу, наступили тяжелые дни: отец был болен, у нас никого не бывало, я проводила время в совершенном одиночестве. Конечно, молодость брала свое: я мечтала об удовольствиях, о победах хорошенькой девушки, в первый раз вывезенной в свет, о молодых людях... А между тем время шло, шло год за годом, мучительно и тяжело, как в тюрьме, а вместе с временем уходила молодость, красота и быстро блекли радужные мечты. Все это походило на ужасный и тяжелый сон, который давил, как чугунная плита. Мне было двадцать три года, когда отец умер от паралича. После отца, кроме долгов, ничего не осталось, и я буквально очутилась на улице. Пришлось существовать своим трудом... Это была тяжелая и неблагодарная школа, которую знаем только мы, гувернантки. Я меняла одно семейство на другое, стараясь найти самостоятельные занятия, но с моим глупым воспитанием, неумением жить и глупым характером ничего не находила, кроме неудач и разочарований. Нас, таких девушек из богатых се-

мей, очень много бьется в столицах...

Ната тяжело вздохнула и опустила глаза.

— Вам тяжело, не продолжайте, — тихо проговорил Борис Борисыч, протягивая руку, — я понимаю конец.

— Нет, позвольте, я докончу... свой роман... — настаивала Ната, доверчиво оставляя свою руку в руке Бориса Борисыча. — Мне несколько раз приходило на мысль покончить с собой, как это делают другие девушки... Я нарочно отыскивала известия в газетах, где говорилось о самоубийцах. Ах, сколько гибнет напрасно молодых сил! И я теперь никогда не прикасаюсь к газетам... страшно! Нужно было выбрать род смерти. Вот в этот критический момент меня отыскал Агап Терентьич. Он пристроился экономом в одной большой больнице и очень разбогател. После умершей жены у него осталась маленькая девочка: вот он к ней и пригласил меня гувернанткой. После всех неудач и скитаний я была рада теплому углу и дорого ценила каждое слово участия. Агап Терентьич, конечно, урод, но он не глупый человек и всегда был так добр ко мне, больше, чем добр. Он ухаживал

за мной, как мать за своим больным ребенком... А конец вы знаете: я отдалась ему, потому что ни впереди, ни назади у меня ничего не было, никакого исхода. Вы сами видите, как я ошиблась в выборе: он теперь давит меня каждым своим словом, стоит, как тень, над каждой моей мыслью, вообще овладел моей волей. Другая женщина сумела бы себя поставить, а я плыву по течению, как вырванное с корнем и брошенное в воду растение. В Петербурге Агап Терентьич держал меня в четырех стенах, как преступницу, но все-таки боялся за свою безопасность и вот придумал увезти меня в лес. Теперь все... Обыкновенная и очень скучная история, не правда ли?..

— Нет, не совсем обыкновенная... гм... Я многое, признаться, не могу понять — именно вопрос о воле. Это добровольное рабство...

— Тише, он следит за нами... — прошептала Ната по-французски, оглядываясь назад, где из-за кустов выглядывала голова лошади Anatolя.

Они рысью проехали вперед с четверть версты, но Ната все еще не могла успокоиться и тревожно оглядывалась назад.

— Я удивляюсь, чего вы так боитесь? — заметил Локотников, обиженный таким финалом чувствительной сцены, — Предоставьте мне иметь дело с этим господином.

— Ах, ради бога, Борис... вы не знаете этого человека. Он следит за мной, как тень, потому что этого хочет Агап Терентьич.

— Да кто он такой, этот ваш Anatole?..

— Право, я и сама не знаю, кто он... Я только боюсь его и каждый раз вздрагиваю, когда он вырастает около нас, как из земли. Пожалуйста, будьте с ним любезны, если... если желаете видеть меня время от времени, хотя мне ваши визиты и обходятся очень дорогой ценой.

— Ната, позвольте мне иметь дело с этими мерзавцами!.. — горячо проговорил Локотников и быстро поцеловал у ней руку в том месте, которое оставалось между перчаткой и манжетой. — Так не может продолжаться... доверьтесь мне, Ната!

Этот поцелуй испугал Нату, и она безмолвно посмотрела на своего кавалера испуганными большими глазами.

— Простите меня, Ната...

— Я, кажется, ничем не дала вам повода, m-r Локотников... Нет, не то, Борис: тебя убьют эти подлецы, если заподозрят в чем-нибудь!.. Я этого не хочу. Нет, я не хочу чужой крови...

Вместо ответа Локотников тихо привлек ее к себе и с ласковой нежностью поцеловал ее отеческим поцелуем в лоб. Когда Anatole догнал их, Борис Борисыч был необыкновенно любезен с ним и старался улыбаться принужденной улыбкой.

Глава 6

Случилось именно то, чего так боялся Борис Борисыч: он попал благодаря своему увлечению в самое фальшивое и нелепое положение. О прежнем покое нечего было и думать, — он сменился сладкими муками в последний раз вспыхнувшего чувства, которые нарастали и увеличивались с каждым шагом вперед, как сорвавшийся с вершины горы снежный ком. Любовь старика — это настоящая трагедия с комическими фарсами. Как умный человек, Борис Борисыч не обманывался относительно своей роли и тысячу раз обдумывал свое положение со всех возмож-

ных точек зрения. Результат получался один и тот же: Борис Локотников еще никогда *так* не любил, да ему и не приходилось еще встречаться с такой женщиной раньше. Если бы он встретился с Натой двадцать лет назад... Это нелепое предположение уносило нашего героя в мир неосуществимых грез, точно для того только, чтобы эти грезы разбились самым безжалостным образом о беспощадную действительность. Ната не может любить его, несмотря ни на какие достоинства, и променяет на первого здорового выкормка. Природа возьмет свое, и единственным осадком всей этой истории будут бессильные и смешные муки приискового Фауста.

— Нет, это невозможно!.. — тысячу раз повторял Борис Борисыч вслух для собственного назидания.

— Но ведь Ната терпит же около себя присутствие черт знает кого... Чем я хуже какого-нибудь Агапа Терентьича?.. Я просто задушу этого дурака!..

Собственно приисковые занятия пошли кое-как, спустя рукава; Локотников ездил раза два в день осмотреть шахты, назначал и

принимал работы, а затем все остальное поручалось Белоусову. У себя дома, в конторе Борис Борисыч сильно скучал и не находил, как говорится, места, потому что его так и тянуло к Талым Ключам. Конечно, ездить туда каждый день он не мог, не желая компрометировать ни себя, ни Нату, но зато ежедневно он несколько раз верхом отправлялся на Лысую гору и с нее в «подозрительную» трубу рассматривал Незабвенный. По прямой линии через болото до прииска было не больше трех верст, и Локотников с жадным вниманием по целым часам следил за жизнью этого потерявшегося в горах желтого приискового пятна. Человеческие фигуры походили на детские куклы, но это не мешало Борису Борисычу сердцем угадывать, которая из них Ната. Она любила светлые цвета, и это отчасти помогало находить то, к чему рвалась душа. Иногда Борису Борисычу, после утомительного наблюдения, начинало казаться, что он смотрит в микроскоп на каплю разведенной зеленой жидкости, в которой, как инфузории, бесцельно двигаются окрашенные живые точки. А между тем одна из этих точек сосре-

доточивала в себе, как в фокусе, все мысли и желания Бориса Борисыча.

Раз, когда он предавался этому скромному занятию, в соседних кустах черемухи послышался шорох, а потом показался Белоусов, шагавший с ружьем за плечами. Произошла выразительная немая сцена, причем смутился не Белоусов, как обыкновенно, а сам Борис Борисыч. Он как-то вдруг растерялся и не мог придумать ничего, чтобы выпутаться.

— Жарко-с... — скромно заметил Белоусов, останавливаясь в почтительном отдалении.

— Да, ничего... А ты куда это?

— Насчет рябчиков, Борис Борисыч... Меня этот просил... ну, Зуев, значит... насчет рябчиков-то... У него тоже ружьишко есть, чтобы вместе на охоту ходить.

— Какой Зуев?

— Да этот... Агап Терентьич. Очень деликатный человек... я с ним познакомился. Как-то сам на Медведку к нам пришел... ну, папиросами угощал, а потом бутылочка с ним такая была... Весьма любопытный человек!..

Это известие во мгновение ока создало в голове Бориса Борисыча великолепный план:

когда Anatole отправится в свое обычное путешествие, подослать к Агапу Терентьичу Белоусова, и в результате — несколько часов свободы для Наты...

Вот уже две недели, как он напрасно добивался хотя одной свободной минуты, чтобы переговорить с ней, но вечно кто-нибудь мешал, и Ната только морщила свой мраморный лоб. Бедная, как она должна страдать в этой ужасной обстановке!.. Нет, решительно этот план свиданий с Натой был великолепен: можно было проводить с ней по несколько часов с глазу на глаз.

Не откладывая дела в долгий ящик, в первую же отлучку Anatolя Борис Борисыч послал Белоусова с ружьем выманивать Агапа Терентьича из его засады, а вслед за ним явился сам на Незабвенный, как снег на голову. Его неожиданное появление испугало Нату, так что она, видимо, была даже не особенно рада ему и капризно раздувала свои пухлые губки.

— Ты сегодня такая странная... — заметил наконец Борис Борисыч, чувствуя, как почва начинает уходить у него из-под ног. — Ты сер-

дишься на меня?

— Я?.. Нет... Я рада, очень рада... — шептала Ната, силясь улыбнуться приветливой улыбкой.

«Бедняжка, как она запугана этим извергом!..» — подумал про себя Борис Борисыч и успокоился.

До настоящего свидания он был счастлив пожатием руки, ласковым взглядом, улыбкой, словом — тем, что дает всю прелесть тайному счастью, а теперь все как-то не клеилось, и Борис Борисыч чувствовал себя очень глупо. Они говорили о совершенно посторонних предметах, как всегда бывает в таких случаях, и забывали, о чем им так много нужно было переговорить. Так было много в голове мыслей, а в душе желаний, что они душили друг друга... Ната постоянно оглядывалась и прислушивалась ухом к каждому звуку, едва отвечая на ласки Бориса Борисыча скромно опущенным взглядом или рассеянной улыбкой. Между прочим, Локотников так забавно рассказал всю историю сегодняшнего свидания и этим наконец развеселил Нату.

— Это очень остроумно... — смеялась она,

наклоняя свою русую головку к его плечу, — Борис, я так люблю тебя... так страдаю, что даже это счастье пугает меня!..

По голубому небу гордо плыли вереницы серебристых облаков, кругом зеленел лес, в лесу перекликались счастливые солнечным днем птицы. Борис Борисыч целовал маленькие белые руки, шутил, смеялся и был счастлив собственным безумием. Глаза у него блестели, как у молодого человека, лицо горело румянцем, и он чувствовал на себе ласковый, любящий взгляд.

— Ната, я приехал к тебе с решительным предложением, заговорил наконец он деловым тоном. — Необходимо всю эту историю покончить...

— То есть как покончить? — испуганно спросила Ната и даже попятилась от своего собеседника...

— Очень просто: выбирай между мной и Агапом Терентьичем... Иначе я не могу!.. И даже не позволю!..

— Ах, какой ты смешной!.. настоящий Отелло!.. — засмеялась Ната неестественным смехом. — Ты забыл, Борис, только одно ма-

ленькое обстоятельство, именно спросить меня: захочу ли я этого?..

— Ты, ты, Ната... Ты шутишь, конечно?..

— Нет, говорю серьезно... Да перестань, пожалуйста, геройствовать! Нужно смотреть на вещи прямо.

Эта сцена была прервана в самом интересном месте неожиданным появлением Агапа Терентьича: весь красный, потный, с блуждавшими, налитыми кровью глазами, он едва держался на ногах. Обвешенный какими-то лядунками, он был очень смешон. Поставив ружье, Агап Терентьич колеблющейся походкой подошел к Нате, грубо схватил ее за руку и проговорил:

— Ссударыня! Не угодно ли вам убираться в свою комнату?.. Але-марш!.. А я буду иметь честь побеседовать здесь с господином Локотниковым... да-с!

Ната закрыла лицо руками и скрылась в конторе. Локотников стоял перед Агапом Терентьичем бледный, с дрожащими губами и твердой решительностью задушить эту пьяную скотину.

— Что вам угодно от меня? — спрашивал

Борис Борисыч, принимая вызывающую осанку.

— Мне-с? Хе-хе!.. Пожалуйста, не с такой гордостью, сеньер! А разговор короткий... да! С вами говорит муж в лучших своих чувствах... Я давно все вижу и не позволю приделывать мне известное украшение всех обманутых мужей!

— Милостивый государь, вы забываетесь! Как вы смеете?!..

Я... я сейчас задушу вас!..

— Убирайтесь вон отсюда... Я все знаю!.. Слышали?..

Локотников хотел броситься и задушить эту гадину, но ангелом примирения явилась Ната, и у него опустились руки.

Она бросилась между приготовившимися к драке мужчинами и залила весь огонь двумя фразами:

— Борис Борисыч! Как вам не совестно вступать в драку с пьяным человеком?.. Не человеком, а фельдшером! Потом вы забыли, что вы у *меня*...

— Да, я фельдшер... верно... — повторил Агап Терентьич с азартом и колотил себя в

грудь. — Да, фельдшер... а все-таки обманывать себя не позволю! Ната, але-марш!

Локотникову ничего не осталось, как только вернуться домой в самом отчаянном настроении духа. Его возмущал этот случай не потому, что его, Бориса Локотникова, выгнал в шею пьяный фельдшер, нет! — его уничтожало поведение Наты... Он теперь ненавидел ее, ненавидел себя и готов был повеситься со злости.

Глава 7

После этого происшествия, конечно, всякие отношения между Валежным и Незабвенным были прерваны. Борис Борисыч сказался больным и целых три дня не показывался из конторы. Кузьмовна на цыпочках подходила к дверям и подолгу прислушивалась, что делает барин: «Шагает из угла в угол, как маятник, и делу конец!.. Тоже вот воды страсть сколько выпил...» Своим старым умом Кузьмовна очень хорошо смекала, откуда на барина навело сухоту, и про себя постоянно ругала «желтолапую Наташку».

«И чего польстился: из себя спичка спичкой, никакой настоящей женской красоты...

тьфу!.. — раздумывала Кузьмовна, стараясь самым добросовестным образом очернить Нату хоть в своих глазах: и то легче. — Удивительное это дело!.. Точно не стало этого добра, нашей-то сестры, баб... только выбирай! Барин заправский в годах... ну, да еще за молодого постоит...»

Иногда, увлекшись течением своих мыслей, Кузьмовна принималась думать вслух, причем, конечно, больше всего доставалось Незабвенному прииску.

— Еще человек женатый называется... — ораторствовала Кузьмовна, с сердцем тыкая какой-то горшок в печь: дело происходило в кухне. — Ну, и глядел бы за женешкой-то — на то ты и муж называешься... обязанность такая мужецкая, да! Жена задурила, должен взнуздать... а еще муж... тьфу!..

— Кто муж-то, нянька? — спрашивал Белоусов, любивший заглянуть в кухню, когда там топилась печь, — может, и перепадет что из съестного. — Какого ты мужа нашла?

— Кто... известно кто!.. Распустил требушину-то свою и думает, хорошо.

— Это ты насчет Агапа Терентьича?..

Белоусов подмигнул левым глазом в сторону барской комнаты, — дескать, знаем! — и не без важности прибавил:

— Ты это совсем напрасно, нянька... *Она* совсем не жена Агапу Терентьичу. Верно говорю...

— Но-о?.. Ах, она...

— А ты думала, Борис-то Борисыч глупее нас с тобой? Небось, дело свое тонко знает... только вот теперь маленькая заминка вышла. Ну, да ничего: барышня Наталья Игнатьевна добреющая...

— Уж молчал бы! Туда же... добреющая...

Белоусов только ухмыльнулся и вышел поскорее из кухни, опасаясь проболтаться Кузьмовне. Как все люди «робкого характера», этот молодой человек был ужасно болтлив, и каждая новость его мучила, как попавшая в глаз соринка; а теперь ему было полное основание опасаться за свой язык: на душе лежала настоящая тайна — именно нужно было передать Борису Борисычу маленькую записочку от самой Натальи Игнатьевны. Она так ласково просила его, Белоусова, сохранить тайну и расспрашивала про барина, что он и

как. Белоусов мот засвидетельствовать, что барышня была такая скучная и два раза вытерла глаза платком.

— Так передашь своему барину в руки? — спрашивала барышня несколько раз.

— Непременно-с... Прикажете насчет ответу-с?..

— Да... нет, ничего не говори, а только не попадайся с запиской на глаза Агапу Терентьичу — он и тебя убьет!

После необходимых предосторожностей и всякой таинственности записка Наты очутилась наконец в руках барина, который прочитал следующее:

«Я чувствую, что после всего случившегося не должна вам писать... Есть такие люди, которые всегда и во всем виноваты, хуже того — они вечно виноваты пред самими собой, пред своей совестью. Лежу теперь больная, совершенно одна... Прощайте, прощайте!

Еще так недавно ваша Ната».

Борис Борисыч внимательно перечитал эту записку несколько раз и горько улыбнулся: он не верил ни одной букве этой записки, которая являлась в этой глупой истории толь-

ко лишней каплей общей лжи.

— Нет, совершенно достаточное количество глупости на мою долю! — проговорил он вслух. — Довольно... довольно...

Собственно говоря, Борис Борисыч сильно колебался: желание видеть Нату, говорить с ней казалось ему недосягаемым счастьем, но благоразумие превозмогло, и он остался. Записка осталась без ответа, и только одна Ильза, все время лежавшая под письменным столом, могла бы рассказать удивительные вещи: как Борис Борисыч плакал, как он обнимал ее, Ильзу, и целовал в лоснившийся шелковый лоб. Собака оставалась единственным верным другом...

Так отношения между Валежным и Незабвенным закончились навсегда. Борис Борисыч с особенной энергией погрузился в свои приисковые дела и совсем не интересовался, что происходит на Незабвенном, хотя и не мог застраховать себя от болтовни Кузьмовны. Так дело тянулось до самой осени, когда по целым неделям шел дождь и наступили бесконечные темные ночи. Приисковые дороги превратились в сплошную грязь, и ездить

по ним можно было только верхом. В пасмурные короткие дни можно было слышать только печальный крик отлетающих в теплые края журавлей, — все, что жило и веселилось в лесу, теперь смолкло. Скука, особенно по вечерам, наваливалась страшная, и Борис Борисыч по целым часам ходил из угла в угол. Иногда он заставлял что-нибудь рассказывать Кузьмовну, иногда дрессировал Ильзу, иногда насвистывал какую-то мудреную арию из старинной оперы.

Однажды осенним темным вечером, когда Борис Борисыч чувствовал себя особенно скверно, к нему вошла Кузьмовна, потоптались на одном месте, повздыхала и только после этих предварительных манипуляций проговорила:

— Приехал... ну, тот...

— Кто?

— Ас Незабвенного... толстый такой. Выпимши сильно.

— Кого ему нужно?

— Вас спрашивает... «беспременно, говорит, нужно».

— Ты перепутала что-нибудь, нянька...

Толстый ко мне не поедет, потому что я его в шею выгоню!

— А вот приехал... пьяненький такой и все плачет.

— Ну, так скажи, чтобы убирался к черту!

Кузьмовна ушла и вернулась, вытирая передником глаза.

— Это еще что такое?.. Ты, кажется, с ума сошла, нянька?

— Жаль барышню... помирает она, сказывает.

— А, опять ложь!.. — вскипел Борис Борисыч, и у него в голове вихрем закружились тысячи мыслей, но слово «смерть» как-то подавляло собой все остальное. «Может быть, в самом деле, что-нибудь случилось, — думал он: — прежде всего человек, а потом уж наш враг или друг...» — Ну, пусти этого мерзавца!.. — громко проговорил он, решившись на что-то.

Агап Терентьич вошел в контору, придерживаясь за косяк, и униженно раскланялся; от него так и пахнуло перегорелым спиртом, как от старой винной бочки., Борис Борисыч не мог скрыть своего отвращения к этой гади-

не и брезгливо отступил к столу.

— Она умирает... — заплетающимся языком проговорил наконец Агап Терентьич и сильно пошатнулся. — А я не виноват... нисколько не виноват, Борис Борисыч!

— Что вам угодно от меня? — обрезал его Локотников, едва сдерживаясь от желания вытолкать в шею этого пьяного мошенника.

— Борис Борисыч, ей-богу, не виноват!.. Тогда меня заставили выгнать вас, и раньше... ах, господи, господи!.. Убить меня мало за мое плутовство, Борис Борисыч... а Наталья Игнатьевна совсем до меня не касались, то есть я даже близко к ним подойти не смел, а не то, чтобы вроде как содержанкой их иметь... Все врал!..

— Как и теперь?

— Нет, теперь не вру!.. Видит бог, не вру! Борис Борисыч, голубчик, она ведь умирает!.. Одна осталась... тяжело ей, бедняжке! Ну, и придумала: хочу, говорит, во всем покаяться человеку, перед которым во всем виновата... Ах, какая женщина, какая женщина! Ради бога, Борис Борисыч, поедемте... до утра не доживут...

— Ничего не понимаю...

Агап Терентьич повалился в ноги и в каком-то исступлении начал стучать о пол своей круглой толстой головой. Эта выходка окончательно убедила Локотникова в необходимости ехать, чтобы разрешить эту неразрешимую загадку на самом месте действия. Захватив с собой аптечку и бутылку вина, он отправился в обществе Агапа Терентьича на Незабвенный и на всякий случай сунул в карман револьвер.

— Это вы для чего-с? — почтительно осведомился Агап Терентьич.

— Это? А это лекарство для вас, если вы меня еще раз обманете... Поняли?..

Глава 8

Осенняя ночь была темна, хоть глаз выколи, — вдобавок сеял назойливый осенний дождь, мелкий, как водяная пыль. Ехать по приисковой дороге в такую пору было чистым безумием, но Бориса Борисыча поддерживали в непременном желании добиться цели три обстоятельства: во-первых, он сам знал эту дорогу, как свои пять пальцев; во-вторых, этот пьяный Зуев приехал же, и, на-

конец, Ната умирала... Опустив поводья и положившись на своего испытанного коня, Борис Борисыч ехал битых два часа в мертвом: молчании, а Агап Терентьич не смел говорить, потому что ему было запрещено врать, как только выехали с Валежного.

Было около часа ночи, когда вдали, как волчий глаз, мигнул красной колебавшейся точкой слабый огонек. Борис Борисыч плохо помнил, как он подъехал к конторе на Незабвенном, как вбежал на крыльцо и очутился наконец у постели умирающей. Ната лежала на куче какого-то очень подозрительного хлама, прикрытого очень сомнительной белизны простыней. В первую минуту Борис Борисыч не узнал ее — так она изменилась: бледное, осунувшееся, постаревшее лицо, глубоко ввалившиеся глаза, высохшие тонкие губы и обострившийся нос делали ее живым покойником. Чувство удручающей жалости сдавило сердце Бориса Борисыча от мысли о неизбежной смерти вот здесь, в полном одиночестве, в глухом лесу, при свете нищенской лампочки. Нельзя ли ее спасти, увезти куда-нибудь?..

— Она спит, — прошептал Агап Терентьич. — Вон как дышит-то...

— Нет, я не сплю... — слабым голосом ответила Ната и с трудом открыла свои округлившиеся, как у смертельно районной птицы, глаза. — Это ты, Агап!.. А другой?.. Ах, да...

— Вам не нужно говорить теперь... вредно... — ласково заметил Борис Борисыч, усаживаясь у постели больной. — Мы вам здоровья привезли.

Ната протянула исхудавшую горячую руку и бессильно закрыла глаза, точно над ее головой занесен был роковой удар.

— Смерть... да, я умру... — шептала она с закрытыми глазами. — Мне хотелось проститься с вами... виновата...

Горькое и обидное чувство закипело в груди Бориса Борисыча, и он едва сдержал навернувшиеся на глаза слезы: она действительно умирала, а он был бессилен... Вот это лицо когда-то улыбалось ему, он целовал эту горячую, сухую руку... Нет, она не должна умирать!.. Борису Борисычу показалось, что он в чем-то очень виноват перед Натой: может быть, она и умирала из-за него? Ведь он тогда

оттолкнул слабые руки, тянувшиеся к нему с таким доверием и немой мольбой о помощи! Конечно, у нее были недостатки, но где тот праведник, который бросил бы в нее первый камень?.. Мысли кружились в голове Бориса Борисыча вихрем, а Ната опять погрузилась в предсмертную дремоту, где действительность тонула в мучительных грезах, как щепка, попавшая в водоворот.

Эта страшная агония продолжалась два дня и две ночи: забытье сменялось минутами сознания, потом все перепутывалось, и больная бредила с открытыми глазами. Иногда она узнавала дежурившего у ее постели Бориса Борисыча, иногда называла его другим именем и начинала смеяться таким нехорошим смехом. Агап Терентьич отправился за доктором в ближайший город и точно в воду канул. На третий день больной сделалось лучше, и в душе Бориса Борисыча проснулась слабая надежда на возможность лучшего исхода.

— Ната, ты спасена! Это — кризис... — шептал он, целуя ее маленькие худые руки. По лицу у него бежали счастливые слезы.

— Нет, я умру... я это чувствую... — повторяла больная и старалась улыбнуться. — Все равно жить больше незачем!.. Меня давит теперь мысль о том, как я обманывала тебя, Борис...

— Не нужно, ничего не нужно, Ната... Тебе вредно волноваться!.. Я давно все пережил и простил тебя...

— Нет, я должна очистить совесть...

Как ни умолял, как ни упрашивал Борис Борисыч, больная настояла на своем с тем упрямством, какое бывает только у больных.

— Тогда я тебя обманула о всем... — начала свою скорбную исповедь Ната и опять закрыла глаза. — Правда одно, что я рассказала до встречи с Агапом Терентьичем... я встретила не его, а Anatolя. Это было истинным несчастьем и гибелью для меня... За ним я ушла из дому, бросила отца и в конце концов попала на скамью подсудимых по очень некрасивому делу. Anatolя присудили на поселение, меня оправдали... Он бежал из заключения, — я пошла за ним. Так мы скитались по всей России под вымышленными именами, пока не попели сюда, на Урал. Anatole по профессии

был карточный шулер и, чтобы прикрыть свою профессию, занялся золотопромышленностью. Везде были обман и ложь... Агап Терентьич — простой трактирный маклер — служил помощником Anatole в его работе, а на приисках должен был разыгрывать роль моего мужа. Это спившийся и пропавший, но очень добрый человек.

— Ната, довольно... я догадываюсь об остальном...

— Позволь, что было дальше?.. Ах, да! Anatole узнал, что ты богат, любишь женщин, и хотел всем этим воспользоваться... Это была тяжелая пытка для меня... Anatole несколько раз хотел убить тебя и меня... Агап Терентьич должен был разыгрывать ревнивого мужа... о, это была целая пьеса!.. Если бы ты явился на мою записку, тебе не уехать бы отсюда живым... А потом Anatole нашел себе другую женщину и скрылся... Теперь все кончено... Борис! Зачем так бывает... что люди, которых мы любим, не любят нас, и наоборот? Ах, как мне хорошо теперь, Борис!.. Дай твою руку, держи меня крепче!..

От слишком большого усилия больной сде-

лалось дурно, а затем она заснула. Эта исповедь произвела на Бориса Борисыча самое гнетущее впечатление, так что ему самому вдруг захотелось умереть здесь, рядом вот с этой исстрадавшейся женщиной, безжалостно измятой жизнью.

Утомленный двухсуточным дежурством и еще больше своим собственным нравственным состоянием, Борис Борисыч на третью ночь заснул крепким и тяжелым сном, как спят только сиделки у кровати больных. Он был разбужен какой-то рукой, которая трясла его не особенно деликатно.

— Вставайте... эй, вставайте!.. — грубо повторял охрипший голос. — Она умерла!.. Слышите?

Борис Борисыч долго не мог понять, где он находится и что с ним случилось, пока круглое лицо Агапа Терентьича не вернуло его к печальной действительности. Господин с хриплым голосом оказался доктором. Ната лежала с открытыми глазами и точно с удивлением смотрела на собравшуюся около нее оригинальную компанию. Она действительно умерла...

Братья Гордеевы[362]

Глава 1

Федот Якимыч поднимался утром очень рано и в шесть часов уже выходил на крыльцо, как всегда делал летом. Казак Мишка вперед вытаскивал складной стул, расстилал под ноги маленький бухарский коврик, и Федот Якимыч усаживался с обычною важностью. Сегодня он был важен и все время разглаживал свою седую окладистую бороду, что не обещало ничего доброго. Крыльцо летом заменяло приемную, и ожидавшие появления Федота Якимыча просители терпеливо толклись где-нибудь во дворе или у ворот. Собственно двор приказчичьего дома походил скорее на большую залу: кругом сплошною деревянною стеной шли разные хозяйственные пристройки, пол был выстлан аршинными досками и гладко выструган; чистота везде поразительная. Открытые настежь ворота давали возможность видеть с улицы все, что делалось во дворе, и наоборот. Сегодня кучка любопытных толпилась у ворот задолго до появления Федота Якимыча, о чем-то шепта-

лась, переглядывалась и вопросительно озиралась на улицу. Очевидно, кого-то поджидали. Летний день занялся таким ярким светом, что глядеть было больно. Солнце только не заглядывало под навес крыльца, где сидел сам Федот Якимыч на своем раздвижном стульчике. Он уже несколько раз озабоченно поглядел на улицу и поморщился, что заставило казака Мишку съежиться, — быть грозе.

— Шесть часов отбило на пожарной? — тихо спросил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому.

— Часы отданы, Федот Якимыч! — почтительно доложил Мишка и, как заяц на угонках, глянул боком на улицу.

Федот Якимыч молча погладил свою окладистую седую бороду и еще раз свел брови. Это был типичный старик, какие цветут наперекор природе какою-то старческою красотою. Широкое русское лицо так и дышало силой — розовое, свежее, благообразное. Особенно хорошо было это лицо, когда Федот Якимыч улыбался своею задумчивою, почти грустною улыбкою, что случалось с ним очень редко. Длиннополый сюртук, сапоги бу-

тылками, ситцевая розовая рубашка с косым воротом — все шло к степенной фигуре степенного и важного старика. В особенно трудных случаях он надевал большие круглые очки в серебряной оправе и доставал серебряную табакерку, завернутую в красный шелковый платок. Он мельком взглянул на почтительно затихшую при его появлении толпу и сразу увидел всех: особенно нужных людей не было. С опущенными головами стояли провинившиеся рабочие, ожидавшие строгой кары, две — при бабенки старались пролезть вперед, — наверное, пришли просить о чем-нибудь; понуро стоял высокий мужик в картузе.

— Ты, Карпушка, погоди, — обратился Федот Якимыч. — С тобой у нас будет спой разговор...

Карпушка только снял картуз и поклонился. И наружностью и манерой себя держать он резко выделялся среди других просителей. Избитые, мозолистые и почерневшие от слесарной работы руки служили вывеской его занятий. Казак Мишка несколько раз говорящим взглядом окидывал Карпушку и даже за-

крывал рот рукой, точно хотел удержать просившееся с языка словечко. Карпушка хмурился и сосредоточенно старался смотреть в другую сторону.

Прошло пять минут томительного ожидания, а Федот Якимыч не шевелился, точно застыл. Только перебиравшие красный платок пальцы говорили, что он не спит, а все видит и слышит. Федот Якимыч все видел и все слышал, как был уверен весь Землянский завод. Он только слегка вскидывал глазами, когда по улице лихо прокатывалась двухколесная рудниковая таратайка или тяжело проезжала телега, нагруженная дровами. Все, кто шел или ехал мимо господского дома, снимали шапки, а бабы по-утиному кивали головами и на всякий случай старались пройти опасное место поскорее. Из господского дома шли гроза и милость на весь завод. Робкие люди обходили грозный господский дом другою улицею.

Прошло еще четверть часа. Федот Якимыч распахнул свой сюртук, достал из пестрого бархатного жилета большие серебряные часы луковицей, посмотрел и только поднял седые

брови. Он только что хотел подняться с места, чтоб идти в горницы, как на улице задребезжала тележка и смело подкатила прямо к воротам господского дома. Из нее выскочили два молодых человека, одетых совсем необычно для Землянского завода. Один, высокий, белокурый, с выбритым лицом и длинными баками на английский манер, одет был в длинную камлотовую шинель с крагеном и в цилиндр с широкими полями; другой, такой же ростом, с русою бородою и золотыми очками на носу, — в драповое пальто «французского покроя» и в лаковые сапоги с желтыми отворотами. Не нужно было особенной проницательности, чтобы узнать в приехавших двух братьев, — старшему, высокому, было под тридцать, а младшему — лет двадцать пять.

— Ждать заставляете! — резко заметил Федот Якимыч, поднося свою луковицу прямо к носу старшему брату. Руки он им не подал, что заметно смутило младшего брата. — Да, ждать... Порядков не знаете.

Старший брат молча достал свои золотые часы и молча поднес их тоже прямо к носу

Федота Якимыча. Близорукие большие глаза были защищены золотыми очками.

— Да ты что мне своими часами в нос тычешь? — уж закричал старик, вскакивая.

— Вы назначили нам явиться ровно в шесть часов, — спокойно объяснил смелый молодой человек, пряча часы в карман, — а сейчас ровно шесть часов.

— Врешь ты все, полчаса седьмого прошло.

— Неправда... У вас утром часы бьют на полчаса раньше, а вечером на полчаса позже...

— А, ты мне указывать! — загремел старик и весь побагровел, но сейчас же сдержал себя и только махнул рукой. — У нас часы по-своему ходят, а не по-вашему, заграничному.

Заводские часы отбивались неправильно, чтобы выгадать лишний рабочий час, и молодой человек только улыбнулся. Он сразу попал в самое больное место всесильному владыке.

— Ведь ваша фамилия Гордеевы... — в раздумье заговорил Федот Якимыч, точно стараясь что-то припомнить. — Да... И отца вашего покойного знавал. Как же... Еще в свойстве с

ним. Долго у немцев загостились... долго... Ума много накопили, нас, дураков, теперь будете учить.

— Брат Леонид десять лет в Швеции прожил, а я двенадцать — в Англии, — с смелою простотою ответил старший, поправляя свои очки.

— Тебя звать-то как?

— Никоном, а по батюшке Зотыч.

— Так... — протянул старик, прищурившись и пожевав губами. — Так я тебе перво-наперво вот что скажу, Никон: не поглянулся ты мне с первого разу. Развязка у тебя не по чину...

— Каков есть...

— Молчать!.. Говори, когда спрашивают, да слушай.

Леонид даже вздрогнул от этого окрика и недоумевающе посмотрел назад, где у ворот боязливо жалась кучка рабочих. Его все смущало: и то, что Федот Якимыч принимает их во дворе, и то, что он не подал им руки, и то, что не пригласил сесть, и то, что он кричит на брата при посторонних. Что же это такое? Он плотно сжал губы и уперся глазами в зем-

лю.

Наступила тяжелая пауза. Федот Якимыч разглаживал бороду и жевал губами, а потом резко проговорил:

— Вот што я вам скажу, нехристи: што в шапках-то стоите передо мной, как другие подобные идолы? Не знаете порядков? Я вас выучу! Я вам покажу, как добрые люди на белом свете живут...

Леонид снял свою фуражку, а Никон так и остался в цилиндре, что окончательно взбесило Федота Якимыча. Старик закричал, затопал ногами:

— Я вас в бараний рог согну, нехристи! Вы, поди, и по постным дням скоромное жрете... Обасурманились на чужой стороне вконец. Учить приехали! Я вам покажу свою науку!..

Братья молчали. Никон, закусив губу, смотрел в упор на неистовствовавшего старика.

— Да вы што о себе-то думаете, заморские птицы? — кричал Федот Якимыч, бегая по крылечку. — Шапки не умеете снять, а туда же, по десяти лет учились... Да у меня первый слесарь больше вас знает... Да... Простой му-

жик... Он всякое дело обмозгует, а вы хлеб даром ели. Эй, Карпушка, выходи!

Казак Мишка посторонился, давая дорогу Карпушке, который подошел к крыльцу, держа шапку в руках.

— Ну, што, Карпушка, наладил штангу? — спрашивал Федот Якимыч, стараясь говорить ласково. — И действует?

— Действует, Федот Якимыч, в лучшем виде.

— Вот вам у кого учиться надо, — объяснил Федот Якимыч, тыкая пальцем на Карпушку. — Простой мужик, слесарь, а какую штуку удумал... До всего своим умом дошел, а по заграницам не ездил. На три версты машину поставил... Теперь будем его штангой воду из Медного рудника отливать. Молодец, Карпушка, хвалю!

Федот Якимыч сделал знак казаку Мишке, и тот моментально исчез, точно Федот Якимыч им выстрелил. Через минуту он появился в дверях крыльца с подкосом, на котором стояла большая старинная рюмка. Федот Якимыч собственными руками подал рюмку Карпушке, а когда тот выпил, расцеловал его из

щеки в щеку.

— Вперед старайся, — говорил он, — а главное, не зазнавайся...

Карпушка неожиданно подавился поданной закуской и принялся усиленно кашлять, что спять рассердило Федота Якимыча, и он сурово махнул Карпушке рукой. Машинально дойдя до ворот, Карпушка оглянулся на грозного владыку, на мгновение остановился, а потом вышел на улицу, по-прежнему держа шапку в руках. Вся эта комедия с домашним самоучкой нарочно была подстроена Федотом Якимычем для вящего посрамления заграничных, — штанга была устроена уже полгода, а Карпушка получил благодарность только сегодня.

— Кто там еще есть? — крикнул Федот Якимыч.

Казак Мишка поочередно начал допускать провинившихся рабочих; бедняги чувствовали, что попали в дурную минуту, и не пробовали даже оправдываться. Первым подошел черноволосый и плечистый обжимочный мастер, прогулявший двое суток.

— В Медный рудник подлеца... — коротко

решил Федот Якимыч. — Сгною в шахте...

Следующий номер отправлен был в машинную, где должен был получить двести розог. Третий не успел подойти, как Федот Якимыч ударил его прямо по лицу и заревел, как дикий зверь. Просительницы бабенки даже присели и хотели потихоньку улизнуть, но казак Мишка подмигнул им: дескать, ваша бабья часть особенная. Когда мужики были «рассмотрены», ближайшая баба с причитаниями повалилась Федоту Якимычу в ноги. Мужик умер, трое ребят, а коровы нет.

— Ну, ладно, сирота, устроим, — неожиданно мягким тоном проговорил Федот Якимыч, стараясь загладить добрым делом сегодняшний свой грех. — Будешь с молоком... Убирайся.

Следующая баба просила поправить развалившуюся избенку, и Федот Якимыч тут же решил, что поправлять не стоит, а нужно поставить новую избу. У третьей бабы муж был болен, она получила пособие из конторы. Братья Гордеевы продолжали стоять, но Федот Якимыч намеренно не обращал на них никакого внимания. Леонид машинально теребил

свою бородку, а Никон упрямо следил за каждым движением владыки. Когда прием кончился, он молча повернулся и, не простившись, пошел к воротам. Эта новая дерзость совсем обескуражила Федота Якимыча, так что он даже ничего не мог сказать, а только затряслись губы. Что же это такое?.. Да как он смел? У всех на глазах ушел, а сам ни здорово, ни прости...

— Так вот вы какие?! — обрушился он всем своим негодованием на стоявшего без шапки Леонида. — Я вам покажу!.. А ты што стоишь? Шел бы за братом: одной свиньи мясо.

— Я не знаю... — бормотал Леонид. — За брата я не могу отвечать...

— Молчать! Кто тебя спрашивал? И ты бы тоже ушел, кабы у тебя хвост не был привязан... Ушел бы?.. Знаю, все знаю... Немку свою пожалел? Хорошо, убирайся к черту...

А Никон шел по Медной улице в дальний конец спокойно и с достоинством, не обращая никакого внимания на любопытство встречающихся прохожих, которые смотрели на него, как та зверя, и указывали пальцами. В конце улицы, поравнявшись с кабаком, Никон нос к

носу встретился с Карпушкой: самоучка-механик, сильно пошатываясь, выходил из кабака. Узнав Никона, Карпушка остановился, покрутил головой и проговорил заплетавшимся языком:

— Вот те Христос: в первый раз... Никогда и в кабаке не бывал. Эх, жисть!..

Карпушка схватил свой картуз и с ожесточением бросил его оземь.

Глава 2

Все время, пока на крыльце происходил утренний прием, в сенях стояла высокая старуха в раскольничьем сарафане. Это была жена Федота Якимыча, Амфея Парфеновна. Она прислушивалась в дверную щель, что делается там, на крыльце, а когда Федот Якимыч затопал ногами на Никона, не утерпела и выглянула, — заграничные ее интересовали. Она их помнила еще детьми и теперь только грустно качала головой, когда Никон «резал» прямо в глаза Федоту Якимычу.

«Этакой бесстрашный! — думала старуха. — Самому-то так и режет... Ах, отчаянный!»

Время от времени дверь из задней горни-

цы отворялась, и неслышными шагами входила круглая, маленькая женщина, объяснявшаяся с Амфеей Парфеновной знаками. Это была немушка Пелагея, игравшая в доме видную роль. Она тоже одета была в косоклинный сарафан из синего изгребного холста с желтой оторочкой на проймах. Взглянув на госпожу своими маленькими серыми глазками, немушка закрывала рот широкою ладонью: она знала в чем дело и успела разглядеть басурманов из своей кухни. Амфея Парфеновна поджимала губы, хмурила густые брови, и немушка так же незаметно исчезала, как появлялась. Это была «верная слуга», воротившая весь дом. На Амфею Парфеновну она просто молилась и по выражению ее глаз угадывала каждую ее мысль.

Когда Федот Якимыч кончил свой утренний прием, Амфея Парфеновна неслышно удалилась в заднюю горницу, где на столе кипел самовар и дымились горячие блины. Старик не любил, чтобы в его дела мешались бабы. Но на этот раз он вошел в заднюю избу веселый и проговорил:.

— Ничего, для первого разу достаточно, Фе-

юшка... Носи — не потеряй. Разнес я этих прохвостов во как... Нар-родец!..

— Уж очень ты себя-то обеспокоил, Федот Якимыч, — покорно заметила старуха. — Легкое место сказать: горло перекричал. Нестоющие того люди... Обасурманились на чужой стороне вконец...

— А мы их в свою веру повернем... ха-ха!.. Нет, Никашка-то, а? Ловок... И шляпу не снял и ушел не простившись. Идол идолом...

— Левонид-то поскромнее будет... очестливее[363].

— Оба хороши, Феюшка... Ну, да и мы не через забор лаптем щи хлебаем. Нет, Никашка-то как строго себя оказал... Ха-ха!.. Туда же, амбицию свою соблюдает... А того не знает, што он у меня весь в руках. Хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю... Все науки произошел, а начальства не понимает. Ну, да умыкают бурку крутые горки... Я Никашку по первому делу в Медную горку пошлю... Пусть отведает, каково сладко с Федотом Якимычем тягаться.

— Молод еще... — как бы в оправдание Никона заметила Амфея Парфеновна и сама испугалась собственной смелости. — К слову я

молвила, Федот Якимыч, — не бабьего ума дело.

— То-то! — окрикнул жену старик и нахмурился. — Не люблю, штобы курицы петухом пели... Не люблю, вот и весь сказ! Против сердца мне сказала, вот што! Только я отошел было, а ты меня опять подняла. Тьфу!..

— Прости, Федот Якимыч, не от ума сболтнула.

— Дура!

Старик ударил кулаком по столу и молча зашагал по горнице.

Господский дом был устроен по старинке. Собственно, это была громадная изба, разделенная по-крестьянски сенями на переднюю половину и заднюю. В передней половине было всего две комнаты, выходившие на улицу пятью маленькими оконцами. Обстановка здесь устроена по-модному — с кисейными занавесками, мягкою мебелью, коврами, горками с посудой и дешевенькими картинами по стенам. Хозяева бывали в передней половине только при гостях, поэтому она носила нежилой, парадный характер. Задняя половина была устроена по старине, и вместо сту-

льев около стен шли широкие лавки, крашенные кубовой синей краской. Передний угол занят был иконостасом с образами старинного раскольничьего письма, медными складнями и крестами. Здесь теплилась всегда «неугасимая». В особой укладке, прикрепленной к стене, хранились часовник и псалтырь, свечи и ладан. За этим блюла сама Амфея Парфеновна. Несколько шкафов с посудой, письменный стол у внутренней стены, старинные большие часы на стене, канарейка в клетке, несколько гераней на окнах — вот и все. Дощатой перегородкой, тоже выкрашенною кубовою синею краскою, задняя изба делилась на две горницы, и во второй была устроена спальня, с широкою двуспальною кроватью, перинами, горой подушек, комодами и гардеробом. Когда дети были маленькие, здесь была детская, но дети давно выросли, были пристроены, и старики жили в доме только вдвоем. Собственно говоря, Амфея Парфеновна мало жила в горницах, а при посторонних и совсем не показывалась, — у нее была наверху своя светлица, где все было устроено по ее вкусу. В светлицу сам Федот

Якимыч ходил только по спросу, когда Амфея Парфеновна позволит. В горницах была вся воля Федота Якимыча, а в светлице царила одна Амфея Парфеновна.

Светлица походила на моленную. Одна стена была сплошь уставлена образами, и Амфея Парфеновна сама здесь «говорила кануны» далеко за полночь. Единственною свидетельницею этого домашнего благочестия была немушка Пелагея да разные «странные люди», проникавшие в господский дом никому неведомыми путями и так же исчезавшие. В своей светлице Амфея Парфеновна была строга и недоступна, так что ее побаивался и сам Федот Якимыч, покрикивавший на жену у себя в горницах.

— Чаепиец ты и табашник! — карала мужа Амфея Парфеновна, входя в свою роль главы дома. — В смоле будешь кипеть потом.

— Ох, буду... — соглашался Федот Якимыч, сокрушенно вздыхая. — Ослабел, Амфея Парфеновна.

Горницы и светлица, таким образом, представляли два различных мира, соприкасавшихся между собой опять-таки ради житей-

ской нужды и слабости. Старики жили по старой вере, хотя Федот Якимыч уже давно «обмирщился». В этом заключалось большое преимущество Амфеи Парфеновны, неукоснительно соблюдавшей древлеотеческие предания. Она в своем раскольничьем мире являлась столпом и крепким оплотом гонимой старой веры и вела обширные сношения с своими единомышленниками. Общественное положение Федота Якимыча как главного управляющего Землянскими заводами заставляло делать постоянные уступки «никонианской злобе», и он как будто всегда чувствовал себя немного виноватым перед женой. Мало ли где ему приходилось бывать самому, а еще больше того принимать в своих горницах никониан: и горный исправник, и протопоп, и разные судейские чины, властодержавцы, начальники и просто нужные люди. В качестве блюстительницы древнего благочестия Амфея Парфеновна держала свое имя грозно, и Федот Якимыч в сущности боялся ее, несмотря на свои окрики и грубые выходки. Это последнее чувство выросло с годами совершенно незаметно, так что и сам кру-

той старик не давал себе в нем отчета. С другой стороны, Амфея Парфеновна приобрела большое и решающее влияние в своем старообрядческом мире, так что в важных делах к ней шли за негласным благословением, когда: нужно было склонить на свою сторону какого-нибудь нужного милостивца, утишить загоревшуюся никонианскую ярость или устранить вредного человека. Старуха умела сделать все это незаметно и просто, оставаясь в тени. Конечно, успеху дела много содействовало общественное положение жены главного управляющего.

Федот Якимыч был то, что называют самородком. Он вышел в люди исключительно благодаря собственному уму, сметке и чисто крепостной энергии. Заводское добро, заводские интересы и польза стояли для него выше всего на свете, и он являлся неподкупным и верным рабом. Заводовладельцы никогда не заглядывали на свои заводы, проживая то в Италии, то в Париже, и для них такой управляющий, как Федот Якимыч, был кладом. Он уже два раза должен был совершить длинное заграничное путешествие, чтобы повидаться

с владыками, — первый раз в Париж, а второй в Неаполь. Эти путешествия оставили после себя известное впечатление. Старик заметно «отшатился» от закоснелого строя своей раскольничьей жизни, по крайней мере душой, хотя и старался этого не показывать. Знала об этой измене одна Амфея Парфеновна и горько скорбела, а затем постаралась извлечь из этого свою, бабью, пользу. Так было и теперь. С заграничными Федот Якимыч устроил тяжелую комедию, чтобы показать, с одной стороны, свою темную крепостную силу, а с другой — чтобы не выдать себя: втайне он сочувствовал заграничным людям. Это было раздвоенное чувство: с одной стороны, старик отлично понимал великую силу образования, а с другой — ему делалось совестно за собственное крепостное невежество, точно приехавшие молодые люди являлись для него упреком. Он целый день был не в духе и грозой прошел по всем фабрикам, грозой съездил на Медный рудник, грозой явился в громадной конторе, где, не разгибая спины, работали сотни крепостных служат. Все время из головы Федота Якимыча не выходили эти за-

граничные, а главным образом — гордец Никашка.

— Ах, и покажу я ему!.. — как-то стонал старик, припоминая картину нанесенного оскорбления. — Кодкериного-то жару как раз убавит...

Дома Федот Якимыч ходил туча тучей, так что немушка Пелагея в своей кухне только хмурила брови, что означало, что там, наверху, — гроза. Кучер Антон, горничная девка Дашка, коморник[364] Спиридон, стряпка Лукерья — все боялись дохнуть. Боже упаси попасть теперь на глаза самой или самому. Больше всего опасность грозила, конечно, девке Дашке, которой приходилось прислуживать в горницах. Это было безответное существо, преисполненное покорного страха и рабьей угодливости.

«Хоть бы гости какие навернулись, все бы легче», — соображала девка Дашка, но как на грех и гостей не случилось. То же самое думал и казак Мишка, трепетавший за свою неприкосновенность. Единственная надежда оставалась на ужин в господском доме, — когда не было гостей, ужинали рано, и таким ран-

ним ужином и закончился бы этот тревожный для всех день. Амфея Парфеновна затворилась бы наверху в своей светлице, а Федот Якимыч шагал бы в парадных горницах, разглаживая бороду и вполголоса напевая стихиру[365]: «Твоя победительная десница...»

Накрывая стол к ужину, казак Мишка и девка Дашка боялись последней беды: а ну, как Амфея Парфеновна не спустятся в горницы из своей светлицы? Бывали и такие случаи... Но все разыгралось совершенно неожиданно. Амфея Парфеновна спустилась из светлицы как ни в чем не бывало, села за стол и даже сама налила рюмку анисовки, которую Федот Якимыч выпивал на сон грядущий. Впрочем, за щами не было сказано ни одного слова. Щи были горячие, как любил Федот Якимыч.

— Сказывают, мудреная немка-то у Левонида, — заговорила первой Амфея Парфеновна, нарушая гробовое молчание.

— Ну?

— Дома, слышь, и в люди ходит простоволосая...

— Н-но?

— По-русски ни слова...

— Ах, волк ее заешь!.. Так Левонид-то как же?

— По-ихнему тоже лопочет... Смех один, сказывают. Приданого немка вывезла тоже раз — два, да и обчелся: платьишек штук пять, французское пальто, шляпку с лентами... Только она простая, немка-то, и из себя ничего, кабы ходила не простоволосая.

— Молчание. Федот Якимыч хрустает прошлогоднюю соленую капусту — любимое его кушанье — и время от времени сбоку поглядывает на жену. Он чувствует себя немного виноватым: погорячился и обругал жену ни за что.

— Так простоволосая? — спрашивает он и улыбается в бороду. — Ах, чучело гороховое!

— Ничего не чучело: она по своей вере и одевается, как там у них, в немцах, бабам полагается. Мы по-своему, а они по-своему... Только оно со стороны-то все-таки смешно.

— Никашка — гордец, а Левонид как будто ничего, — в раздумье говорит Федот Якимыч, — Левонид поочестливее будет...

— А што говорят другие-то про них?

— Да разное... Уехали свои, а приехали чужие, — што тут разговаривать? Видно будет потом.

Опять молчание. Федот Якимыч сосредоточенно хлебал деревянной ложкой молоко из деревянной чашки. Дома старики живут совсем просто и едят деревянными ложками. Для гостей есть и дорогая фаянсовая посуда, и столовое серебро, и салфетки, а без гостей зачем стеснять себя?

— Больно охота мне поглядеть эту самую немку, — неожиданно заявляет Амфея Парфеновна, когда ужин уже кончается. — Не видала я их сроду, какие они такие есть на белом свете...

— Такие же, как и все бабы: костяные да жиленые, — шутливо отвечает Федот Якимыч.

— Ты-то видал, а я нет...

После ужина в светлице шло вечернее богомолье: Амфея Парфеновна читала «канун», а Федот Якимыч откладывал поклоны по ременной лестовке. Немушка Пелагея всегда присутствовала при этой молитве и повторяла каждое движение Амфеи Парфеновны. Она

же потом провожала свою «владыку» в спальню и укладывала в постель, — Федот Якимыч приходил потом. Лежа в постели, Амфея Парфеновна все о чем-то думала, а когда пришел Федот Якимыч, она сонным голосом проговорила:

— Ужо как-нибудь в гости немку позову.

— Тоже и придумала! — изумился старик.

— А ежели я не видала?

Глава 3

Мысль о немке засела в голове Амфеи Парфеновны гвоздем. Сначала Федот Якимыч посмеялся над этой затеей, а потом нахмурился. Легко сказать, зазвать немку в гости, да еще вместе с мужем, потому что хотя она и немка, а все-таки как ее одну-то в чужой дом привести?

— Не ладно ты удумала, Феюшка, — уговаривал старик жену. — Надо и Левонида звать.

— Што из того, и Левонида позовем. Тебе-то какая причина от того? Уехал на фабрику, и все тут... Сына Гришу со снохой позову, а может, и Наташа к тому времени подъедет. Управимся и без тебя...

— Как знаешь, только оно тово... то есть

мне-то низко будет Левонида угощать.

— И не угощай, без тебя обойдемся. Уехал бы куда-нибудь на заводы — только и всего.

Осуществление этой мысли заняло весь дом, причем немушка Пелагея даже мычала от удовольствия: пусть матушка Амфея Парфеновна потешит свою душеньку. А хлопоты не велики: всего-то званый обед приготовить. С оказией была послана весточка Григорию Федотычу, который служил управителем в Новом заводе, и дочери Наташе, выданной замуж за купца Недошивина у себя, в Землянском заводе. Стряпка Лукерья, горничная девка Дашка и казак Мишка тоже волновались в ожидании готовившейся комедии, когда в господский дом привезут настоящую немку. То-то будет потеха... Немушка Пелагея уже забегала послом к Гордеевым и только закрывала рот рукой, когда ее расспрашивали про немку. Из ее мычанья и жестов все понимали только одно, что немка такая же немая, как Пелагея, и это всех смешило.

В назначенный день приехал сам Григорий Федотыч с женой Татьяной. Это был серьезный молодой человек лет тридцати, с

окладистой русой бородой и скуластым лицом; он походил на мать. Сноха Татьяна была городская и ходила в платьях и в шляпках, и Амфея Парфеновна за глаза величала ее модницей. Явилась и дочь Наташа, любимое и балованное детище. В угоду матери она в родительский дом приходила в шелковом сарафане и в платочке на голове. Бойкая и речистая, эта Наташа в своем купеческом быту пользовалась репутацией удалой бабенки, которой пальца в рот не клади. Муж ей попался простой, притом он «зашибал водкой», и Наташа жила своей вольной волюшкой. Молода была, красива, а грех не по лесу ходит. Впрочем, молва о Наташиных грехах не доходила до господского дома, и Амфея Парфеновна души не чаяла в дочке.

— Чтой-то, мамынька, вы и придумали, — говорила Наташа, щелкая орехи. — Наслышались мы про немку чудес... Ни встать, ни сесть не умеет, а с мужчинами, как с своим братом, так с рукой и лезет. В том роде, как не совсем она умом, мамынька. Проста уж очень...

— Просто сказать, дура, — коротко отрезал

Григорий Федотыч. — А промежду прочим, мамынька, ваша полная воля...

— Уж мне от отца досталось за эту самую немку, — объясняла Амфея Парфеновна. — Пожалуй, и то, што не ладно я затеяла. Хотела и себя и вас потешить.

— Ничего тут худого нет, мамынька, — успокаивала Наташа, — не съест она нас... Посмеемся, и только.

Гордеевы были приглашены вечерком, как настоящие гости. Федот Якимыч нарочно уехал в заводоуправление, чтобы не встречаться с ними. Амфея Парфеновна заперлась в светлице, а принимать дорогих гостей оставила Наташу. Григорий Федотыч с женой остались в парадных горницах.

— Чтой-то, как они долго, — повторяла Наташа, перебегая от окна к окну. — Вечер на дворе...

— По-заграничному, — язвил Григорий Федотыч. — Нашли важное кушанье... Конечно, я не подвержен к тому, штобы перечить мамыньке, а Левонида Гордеева помню даже весьма. Сиротами они росли, Гордеевы-то, ну, достатков нет, а в другой раз дома и куска

нет. Бывало, украду у мамыньки кусок да Левониду и отдам: на, ешь.

— Мало ли, братец, что бывает, — уклончиво отвечала Наташа, — прежде есть нечего было Гордеевым, а теперь они ученые... Тятенька-то вон как взбуривает на них. А почему? Боится, что сядут ему на шею... Вот послужит, послужит тот же Никон, да главным управляющим на тятенькино место и сядет. Умница Никон-то, сказывают...

— Пока особенного ума еще не оказал, сестрица, окромя дерзости... Только все это не нашего с тобой ума дело. Родитель получше нас знает...

Гости приехали только в сумерки, часов около девяти, когда немушка стала зажигать сальные свечи в горницах. Наташа встретила их в передней.

— Мамынька сейчас выйдет, — объясняла она, нарочно обращаясь к непонимавшей ничего немке. — Пожалуйте...

Когда немка сняла свое французское пальто, Наташа так и ахнула: она была в каком-то детском кисейном платье, с голубою широкою лентою вместо пояса. Руки выше локтя

были голые. Белокурые волнистые волосы были подвязаны такою же голубенькою ленточкой, и только. Всего больше изумило Наташу короткое платье. «Вот бесстыдница!» — невольно подумала Наташа, целуясь с гостьей. Сам Гордеев заметно смущался и отвечал за жену. Он, правда, заметно повеселел, когда увидал Григория Федотыча и узнал его.

— Милости просим, — пригласила Наташа, усаживая немку па диван. — Мамынька сейчас выйдет...

Немка осматривала своими большими серыми глазами парадные горницы с каким-то детским любопытством, потом переводила глаза на мужа и улыбалась. У ней было такое красивое и нежное лицо, с тонким профилем и алыми губками. Когда она улыбалась, два ряда белых зубов так и сверкали. Небольшого роста, стройная, гибкая, подвижная, она казалась красавицей. Когда немушка Пелагея подала чай, немка осмотрела чашки, сахарницу, поднос и опять засмеялась.

— Какая она у вас веселая, Левонид Зотыч, — заметила Наташа.

— Амалия совсем ребенок, — уклончиво

ответил Гордеев и что-то сказал жене по-немецки.

Она засмеялась уже совсем весело, бросилась Наташе на шею и расцеловала ее прямо в губы. Григорий Федотыч все время молчал и все посматривал на дверь, в которую должна была войти мать. Амфея Парфеновна появилась настоящей королевой. Девка Дашка забежала вперед, чтоб отворить дверь, и старуха вошла с медленною важностью. Она была в тяжелом парчовом сарафане и в жемчужной сороке. Немка быстро поднялась с места и сделала реверанс. Это окончательно рассмешило всех, а Наташа так и прыснула.

— Здравствуй, милашка... — ласково заговорила Амфея Парфеновна и поцеловала гостью плотно сжатыми губами. — Садись, так гостья будешь.

— Жена очень рада познакомиться с вами, Амфея Парфеновна, — ответил за жену Гордеев. — К сожалению, она пока еще не умеет говорить по-русски...

— Ничего, пусть говорит по-своему, по-немецкому, — милостиво заметила старуха, оглядывая выставлявшиеся из-под платья

немкины ноги. — Как ее звать-то у тебя, Леонид?

— Амалия Карловна.

— Так... Мне-то и не выговорить сразу. Славная бабочка, хоть немка...

Немку больше всего заинтересовал сарафан хозяйки, и она долго его рассматривала, разглаживая белою пухлою ручкою тяжелую старинную материю и золотой позумент. Эта наивность и доверчивая простота очень понравились старухе.

— Жена уж начинает учиться по-русски, — объяснял Гордеев.

— Чи!.. — весело заговорила немка и засмеялась.

— Она хочет сказать: «щи», — опять объяснил Гордеев.

— Чи... чи! — лепетала немка.

Все весело засмеялись, и сама Амфея Парфеновна тоже. Очень забавна эта немка: и простоволосая и ноги чуть не до колен выставляет. Когда подали закуску, она, не дожидаясь приглашения, первая подошла к столу и сама налила себе рюмку вина. Гордеев что-то сказал ей, но Амфея Парфеновна заметила

ему:

— Оставь ее, Левонид... Наших порядков она не знает. Я и сама с ней пригублю рюмочку... Гриша, а ты что же?

Мужчины выпили водки и закусили балыком. Григорий Федотыч сразу отмяк и стал расспрашивать Гордеева, где он учился, как живут немцы и что они думают делать. Давешней неловкости как не бывало, особенно когда выпили по второй. Амфея Парфеновна увела гостью в заднюю половину, чтобы там осмотреть ее на свободе. Наташа и сноха Татьяна пошли за ними. Особенно развеселилась Наташа и все приставала к немке, чтобы та сказала: «чи». Смеялась и немушка Пелагея, девка Дашка и сама немка.

— Ей только с нашей Пелагеей разговаривать, — говорила Амфея Парфеновна, бесцеремонно оглядывая гостью с ног до головы. — Зачем ты, милушка, ручки-то оголила? Нехорошо это при посторонних мужчинах, да и платье-то подлиннее бы сделать...

В задней половине последовало новое угощение: варенье, орехи, пряники, конфеты. Но немку занимала больше всего обстановка

комнат, и она по-ребячьи осмотрела каждый уголок. Заметив двуспальную кровать, она кокетливо покачала головой.

— У них, мамынька, мужья и жены в разных комнатах спят, — объяснила Наташа. — Все равно как чужие люди... Вот ей и удивительно.

— А славная бабочка... — повторяла Амфея Парфеновна. — Хоть куда... А ежели бы ее нарядить в сарафан, да косу заплести, да кокошник — лучше не надо.

Гордеев и Григорий Федотыч пристроились к закуске и вели оживленную беседу.

— Тяжело вам будет здесь, — говорил Григорий Федотыч. — Главное, что непривычное ваше дело, а у нас на все свои порядки...

— Привыкнем помаленьку... Только вот Федот Якимыч как-то странно отнесся к нам. Я совсем не понимаю, на что он рассердился тогда на нас с братом...

За этими разговорами молодые люди совсем не заметили, как вошел сам Федот Якимыч. Он остановился в дверях и подозрительно оглядел комнату. Первым заметил его Григорий Федотыч и почтительно вскочил.

— Здравствуйте, тятенька.

— Здравствуй.

Гордеев поклонился издали и ждал. Грозный старик отдал картуз казаку Мишке, еще раз оглядел свои горницы и проговорил ласково:

— Ну, здравствуй, Левонид Зотыч.

— Здравствуйте, Федот Якимыч.

— Садись, так гость будешь, — пригласил его старик. — В ногах правды нет, как говаривали старинные люди... Мишка, анисовой!

Григорий Федотыч продолжал стоять, потому что не получил приглашения садиться. Старик не любил баловать детей, и если пригласил сесть Гордеева, то только потому, что, во-первых, чувствовал себя немного виноватым перед ним, а во-вторых, — женатый человек, не следует его по первому разу срамить перед женой. Выпив рюмку анисовки и закусив соленым рыжиком, Федот Якимыч посмотрел на гостя уже совсем ласково и даже улыбнулся.

— Ты у меня теперь гость, Левонид, и разговор у нас будет другой, — заговорил старик, улыбаясь. — Подвернешься под руку, не взы-

щи, а гостю первое место и красная ложка... Эй, Мишка, анисовой!

После второй рюмки старик заалел и взглянул на двери в сени. Он сегодня был в хорошем расположении духа и казался таким важно-красивым, что даже Гордеев полюбовался им.

— Покричал я тогда на вас с братом, — объяснял он. — Горденек Никон-то, хоть и брат тебе доводится. Из одной печи, да не одни речи... Ну, да ничего, авось помиримся. Так я говорю?

— Совершенно верно, Федот Якимыч...

— Крут я сердцем, да отходчив, Левонид. Да... Ты мне поглянулся с первого разу, а что я посердитовал тогда, так не всякое лыко в строку. Гриша, садись, чего столбом-то стоять?

Старик совсем развеселился и выпил еще третью рюмку, что с ним редко случалось. У Гордеева тоже отлегло на душе. Они сидели у закуски и беседовали. Федот Якимыч рассказывал, как он начал свою службу рассылкой в конторе, сколько натерпелся, пока поступил в писцы, как работал день и ночь, не покладаю-

чи рук, и как ему трудно и посейчас, потому что приходится отвечать за всех остальных служащих. Но в средине рассказа он вдруг остановился, посмотрел на входную дверь и бессильно опустил руки: в дверях стояла немка и смотрела на] него своими детскими серыми глазами. У старика точно захолонуло на душе: он как во сне видел это кисейное белое платье, голубую ленту, распушенные белокурые волосы.

— Да ты хоть поздоровайся с гостьей-то, — заметила Амфея Парфеновна. — Она веселая бабочка...

Федот Якимыч с удивлением перевел глаза на жену и только сейчас заметил, какая она старая и безобразная: лицо обрюзгло, глаза злые, фигура опустившаяся. Он поднялся с своего места, сделал шаг вперед, чтобы поздороваться с гостьей, но только махнул рукой и, пошатываясь, пошел из горницы к себе на заднюю половину.

Глава 4

Гордец Никашка попал в Медный рудник и с блендочкой[366] на поясе спускался по стремянке в шахту каждое утро вместе с дру-

гими рабочими. Он не роптал, не жаловался и вообще не подавал вида, что это ему не нравится. Крепкий был человек, с английской складкой характера. На первый раз ему дали производить съемку новых работ в шахте, что уже совсем не соответствовало его специальности. Но и на этом чужом для него деле Никон сумел так себя поставить, что и рудниковые рабочие и рудниковые служащие отнеслись к нему с большим уважением, как к своего рода начальству. Он и по заводу не стеснялся ходить в костюме простого рабочего — в белом балахоне, запачканном желтою рудниковою глиною. Когда били в четыре часа утра на поденщину, он шел в рудник, но не спускался в шахту, пока не выходило время по его часам, то есть получасом позже других рабочих. Конечно, о таком своевольстве донесено было Федоту Якимычу, который опять рвал и метал, но ничего поделать не мог.

— Он у меня всех рабочих перебунтует! — орал старик, — Да я его в цепи закую, коли на то пошло!

Но это была пустая угроза. Никон мог пожаловаться горному исправнику на непра-

вильное отбивание часов, и Федот Якимыч только скрежетал зубами! И выходил из шахты Никон тоже получасом раньше, чем другие рабочие. Но что больше всего возмущало Федота Якимыча, так это то, что Никону приходилось каждый день четыре раза: проходить по Медной улице мимо господского дома. Утром еще ничего, все спали, а среди белого дня это хождение было Федоту Якимычу нож острый, — все пальцами указывали на Никашку, и все ему сочувствовали, хотя открыто и не смели выказывать этого сочувствия.

«Вот навяжется этакой сахар!» — ругался про себя старик.

Это пустое в сущности обстоятельство отравляло ему каждый день. Когда наступал час рабочего обеда, Федот Якимыч заметно начинал волноваться и, притаившись у окна, поджидал, когда пройдет Никашка. Вечером это волнение усиливалось еще более, потому что Никашка шел с работы на полчаса раньше и этим обличал крепостную хитрость главного управляющего, воровавшего у рабочих по получасу.

— Нет, он из меня душу вымотает, Феюшка, — жаловался старик жене. — Ведь все видят, как он вышагивает, разбойник.

— Ну, и пусть его шагает. Тебе-то какая печаль? — успокаивала мужа Амфея Парфеновна. — Ежели он не хочет покориться, так и пеняй на себя...

— А другие-то меня завинят, Феюшка... Скажут, живого человека в шахте гною. Ну, да мне плевать!..

Федот Якимыч сделался не в меру подозрительным и в каждом постороннем взгляде видел упрек себе, хотя в глаза никто и ничего не смел ему говорить. Но наступил час, когда старик услышал и обличающее слово, и притом от кого? — от родной дочери. Раз утром приехала Наташа, такая взволнованная и расстроенная, и прямо заявила отцу:

— Тятенька, что же это вы такое делаете с Никоном-то? Креста на вас нет... да. Все на вас судачат, зачем Никона в шахте гноите.

— Да ты... ты-то откуда заступницей выискалась? — грянул на нее старик. — Да как ты смеешь, негодная?.. Да тебе-то какое дело, а?

Федот Якимыч даже затрясся от охватив-

шего его бешенства и по обыкновению затопал ногами, но Наташа и не думала уступать отцу, а тоже вся тряслась и продолжала свое:

— Должон же кто-нибудь сказать вам правду, тятенька, — ну, вот я и сказала... Другие-то боятся, а я вот взяла и сказала. И не боюсь я вас вот нисколечко...

На шум и крик спустилась из своей светлицы сама Амфея Парфеновна и только развела руками. Положим, и раньше Наташе случалось перечить отцу, — смелая уж такая уродилась, — да все-таки не так, как сегодня: точно белены объелась баба. Так на стену и лезет.

— Да ты ополоумела в сам-то деле? — накинулась на нее Амфея Парфеновна. — Кому ты зубишь-то, Наталья?.. Вот возьму лестовку, да как начну обихаживать...

— Было ваше время, мамынька, учить-то меня, а теперь у меня муж есть, — с дерзостью отвечала Наташа. — Вот вам некому правды-то сказать, потому как все вас боятся... да. А я вот пришла и сказала тятеньке все...

— Ах ты, дрянь! — взъелась старуха. — Да тебе-то какое дело до Никашки, срамница?

Вот еще заступа нашлась... Спустить вот в шахту к Никашке: два сапога — пара. Больно зубы-то у вас долгие...

— Мать, оставь! — закликнул Федот Якимыч, успевший опомниться. — Не тронь ее: не от ума болтает человек...

Это неожиданное доброе слово точно придавило Наташу, — она сразу затихла, смутилась и опустила глаза. Старик знаками выслал жену из горницы, прошелся несколько раз, потом быстро повернулся к дочери, обнял ее и шепотом спросил:

— Наташа, Христос с тобой, что ты говоришь?

Наташа бессильно припала своею красивою русою головкою к широкому отцовскому плечу и как-то по-детски всхлипывала., — Наташа, что с тобой попритчилось?

— Тятенька, родимый, жаль мне Никона... до смерти жаль. Не могу я видеть, как он по заводу ходит рабочим. Так бы вот бросилась к нему, сняла с него все грязное, надела все и сама бы руки ему вымыла.

— Да ты познакомилась с ним, што ли? Ну, говори...

— Только издали и видала, тятенька... Гордый он, умница... Не томи ты его, тятенька: в ножки поклонюсь.

Федот Якимыч ничего не пообещал, как ни молила его Наташа, и ничего не сказал жене: ему не по душе пришлась горячая выходка любимой дочери. И гордая она, и добрая, и вся огонь — вся в него. Был один момент, когда он усомнился в ней: не попутал ли ее бабьим делом грех, но этого не оказалось, и старик успокоился. А все-таки нельзя Никашке спускать, — пусть его походит с блендочкой. После сам спасибо за науку скажет... Амфея Парфеновна зато была огорчена поведением Наташи до глубины души, но по своей материнской логике сейчас же во всем обвинила Наташина мужа, который не умел держать жену в руках. Вот она и блажит. Хорошо, что пришла к отцу с матерью, а домашний срам дома же и изнашивается. У старухи все-таки осталось какое-то темное предчувствие неизвестной беды, которую привезли с собой вот эти самые басурманы.

«Хорошо еще, что Левонида в Новый завод избыли, — подумала в заключение Амфея

Парфеновна, припоминая то впечатление, которое немка произвела на Федота Якимыча. — Приворотная гривенка эта немка...»

Леонид Гордеев был определен на службу в Новый завод, под начало Григорию Федотычу. На сына старик надеялся вполне: потачки не даст, хотя и вместе ребятами в бабки играли. Тяжелая рука была у Григория Федотыча, пожалуй, потяжелее родительской, только он разговаривать много не любил, — характером нашибал больше в мать. Чтобы выдержать свою политику, Федот Якимыч определил Леонида в бухгалтерию, то есть не по его специальности, как и Никона. Пусть чувствует, что в его науке никто не нуждается: и без него жили, и при нем проживут. В отместку Никону заводоуправлением Леониду дано было сразу место служащего, с жалованьем в двадцать рублей, что составляло уже целое богатство по сравнению с рабочей поденщиной Никона. Федот Якимыч хотел достигнуть гордеца Никашку не мытьем, так катаньем.

Молодые Гордеевы сразу устроились хорошо в Новом заводе. Завод был небольшой, служащих мало, и все дело вел Григорий Фе-

дотыч, сразу навалившій на Леонида кучу канцелярской заводской работы. Впрочем, Леонид и сам был рад, что дорвался хоть до какого-нибудь дела, а то целых полгода он проживал в Землянском заводе совсем без занятий, что томило его хуже всякой работы. И на квартире Гордеевы устроились прекрасно, именно: у заводского попа Евстигнея, который жил в большом господском доме только вдвоем с своей попадьей Капитолиной. Это была оригинальная парочка. Поп был высокий, волосатый, худой и молчаливый человек, вечно шагавший из угла в угол, как маятник, а попадья, красивая и молодая женщина, совсем не умела молчать. Детей не было, и поп с попадьей обрадовались квартирантам, как дорогим гостям, особенно говорунья-попадья. Под ее руководством немка быстро научилась говорить по-русски, так что даже Леонид только удивлялся успехам жены.

— У меня мертвый заговорит, — хвасталась попадья. — Чего бабам и делать, как не разговоры разговаривать?.. Да и немочку твою, Леонид Зотыч, я полюбила сразу, ровно бы вот родную сестру. Только вот одного

не может выучить: чи, и кончено. Точно вот примерзло это самое слово у ней к языку...

— Я уж не знаю, как вас и благодарить, Капитолина Егоровна, — повторял Гордеев.

— Как-нибудь, авось, сочтёмся...

Новозаводская попадья славилась как развертная бабенка. Сам Федот Якимыч любил завертывать к ней в гости: и квасом напоит таким, что в нос ударит, и на гитаре сыграет, и песню споет, и наговорит с три короба. Одним словом, на все руки попадья. А уж как она пела, эта самая попадья, — до слез доведет, как зальется. И все-то у ней смешком, да шуткой, да уверткой, точно вот на огне горит.

— Где ты такая и зародилась, Капитолинушка? — бывало, пошутит Федот Якимыч, хлопнув попадью по крутому белому плечу. — Хоть бы и не попу такую жену, так в самую пору...

— И то не по чину досталась попу попадья, — отшучивается Капитолина Егоровна, ласково поглядывая на дорогого гостя, — Кому уж какое счастье на роду написано, Федот Якимыч. От судьбы не уйдешь...

Выговорит попадья такое словечко и сама

легонько вздохнет. А поп все шагает из угла в угол, как журавль по покосу, и все молчит да бороду свою теребит. Он с гостями двух слов другой раз не скажет. Федот Якимыч не приезжал в Новый завод без того, чтобы не привезти попадье гостинца — то шелковый платок, то ситцу на платье, то меду или яблоков. Вместе с гостинцами старик всегда привозил попадье поклон от Наташи. А сама Наташа, когда приезжала погостить в Новый завод к брату, все время проводила в поповском доме, где и ночевала. Брата Григория Федотыча она не любила, как и сноху Татьяну, — скучные они какие-то. С попадьей Наташа и спала на одной кровати, а попа выдворяли в это время в дальнюю угловую комнату.

— Хохлатый он у тебя какой-то, — повторяла Наташа в припадке откровенности. — Как ты и живешь с ним.

— А мне хорош, — смеялась попадья.

— Нашла тоже сокровище...

Через Наташу попадья знала решительно все, что делалось в Землянском заводе, и пользовалась этим, чтобы подтравить иногда Федота Якимыча.

Месяца через два по переезде Гордеевых в Новый завод прилетела туда и Наташа. Попадья просто не узнала ее: скучная такая да молчаливая, точно в воду опущенная. Она, против обыкновения, ничего не рассказывала, а только дразнила немку, так смешно коверкавшую русские слова. Вместо «корова» Амалия Карловна говорила «говядина», оглобли называла жердями и т. д. Попадье на первый раз показалось, что Наташа просто приревновала ее к немке, и только улыбалась про себя. День кончился тем, что Наташа капризничала и даже кричала на попадью, а потом вдруг затихла и принялась уговаривать попадью спеть ее любимую песню: «Не взвивайся, мой голубчик, выше лесу, выше гор».

— Голубушка, родная, спой! — умоляла она. — Ох, тяжело мне... тошно.

— Да что случилось-то, говори толком?

— Все будешь знать, скоро состаришься.

Вечером поп Евстигней, по обыкновению, шагал из угла в угол. Попадья уселась на диване с гитарой и пела любимые Наташины песни, а сама Наташа слушала и плакала. Под конец она не выдержала и рассказала все, как

на духу.

— Капочка, родная, сама я не своя... — каялась Наташа. — Точно вот громом меня оглушило: ничего не понимаю, ничего не слышу и не вижу. Ты говоришь, а я не понимаю ничего... И как это все случилось?

— Поп, ты бы вышел, — говорила попадья, предчувствуя интимное объяснение. — Мы с Наташей мало ли что болтаем промежду себя.

Поп покорно хотел выйти, как Наташа остановила его:

— Не уходи, поп: все равно ничего не поймешь... И таиться мне не от кого: мой грех — мой и ответ. Вся тут... Капочка, полюбился он мне, ворог мой лютый, и сама не знаю как и за што. Даже не заговаривала с ним ни единого разу, а все только думаю о нем да про себя ласковые слова наговариваю... Вот как крепко полюбился, што ни крестом, ни пестом не оторвешь его. Ах, пропала моя головушка, Капочка... — Да кто он-то, обворожитель-то твой? Не говори, сама знаю: гордец Никашка... Слышала мельком, сорока на хвосте принесла. Только я тебя не похвалю, Наташа... Непутевое это дело мужней жене...

— Не понимаю я, ничего не понимаю! — повторяла Наташа, закрывая глаза, как подстреленная птица. — Не искала я его, сам пришел да против самого сердца и встал. Ох, головушка моя!..

Глава 5

Прошел год. Жизнь вошла в обычную колею. Леонид Гордеев по-прежнему служил бухгалтером и мало-помалу втянулся в свою служительскую лямку. Это был трудолюбивый и скромный человек, сумевший приспособиться к новой среде. Только временами на него нападали минуты тяжелого раздумья и какой-то апатии: он был не на своем месте. Кроме того, из-за канцелярской работы он не имел свободного времени, чтобы пополнять свое образование. Да и книг не было, и даже газет, — на двадцать рублей не далеко ускачешь. А ведь время идет... Через пять лет такой канцелярщины какой может быть из него горный инженер? Придется начинать с аза... Но больше всего Леонида мучило то, что он — крепостной человек, следовательно, не имеет никаких прав. Постепенно эта мысль сделалась его больным местом. Да и не он

один крепостной, а и жена и будущие дети... Нет, даже страшно подумать! Мысль невольно уходила назад, в тот свободный мир, где нет крепостных и рабовладельцев, а царит свобода. Да, золотая свобода... Не раз у Леонида мелькала мысль о бегстве в Швецию, — там он нашел бы себе работу и устроился бы, как все свободные люди. Он, как сквозь сон, видел страну гор, лесов и озер, где прошли лучшие годы. Там он учился, там работал, там в первый раз увидел белокурую девичью головку с этими детски-доверчивыми глазами. Это была семья шведского горного инженера, где он был принят, как свой человек. Ведь живут же люди по-человечески, работают, веселятся и не знают, что такое неволя, рабство, позор. С каким хорошим чувством Леонид возвращался на далекую родину, и какие гордые мечты он вез с собой! Он уже видел впереди святое дело, громадный труд, процветание целого заводского округа, успехи и триумф, — а все дело свелось на грязную контору и проклятые конторские книги.

Единственным утешением оставалась своя собственная семья. Леонид отдыхал только у

себя дома и был счастлив. Но и это счастье было нарушено. Что случилось, Леонид не мог бы и сам сказать, но что-то случилось. Между ним и женой легла непрошеная тень, то первое недовольство, которое не объясняется словами. Амалия Карловна быстро выучилась русскому языку и с чисто женскою ловкостью приспособилась к новой обстановке и к новым людям. Часто, вглядываясь в жену, Леонид находил в ней что-то новое, ему незнакомое, точно это была другая женщина. Прежде всего ему казалось, что она перестала быть с ним откровенной, как раньше, и чего-то не договаривает, а затем... а затем, что она тоже в свою очередь открыла в нем совсем, совсем другого человека. Потерялся искренний, дружеский тон, и начиналась чувствоваться житейская гнетущая фальшь, покрывавшая ржавчиной каждую мысль, каждое движение. Раз Амалия Карловна спросила мужа:

— Послушай, Леонид, ведь я тоже крепостная?

— Кто это тебе сказал?

— Все равно, я знаю... Ведь рабство — ужас-

ная вещь, и если б у нас были дети, они родились бы тоже рабами. Я не подозревала этого.

— И я тоже не думал, что меня оставят крепостным. Но ведь это все равно: тебя, кажется, никто не притесняет, и ты живешь, как свободная женщина.

— Да? А ты думаешь, мне легко смотреть на твое зависимое положение? Разве я не понимаю, что все это значит?

— Милая, я тоже отлично понимаю, и если не говорю об этом, то только потому, чтобы напрасно не тревожить тебя. Словами делу не поможешь... Будет время, когда и мы будем вольны.

Амалия Карловна только вздыхала.

Расставшись с братом Никоном еще в детстве, Леонид встретился опять с ним в Землянском заводе, как чужой человек. Это чувство сгладилось только под давлением общего несчастия. Оно их сблизило. Да и с кем было отвести душу, когда кругом царило огульное невежество и кромешная тьма? Заводские служащие образования никакого не получали и, кроме своих заводских дел, ни о чем не хотели знать. В этой среде положение

Леонида было самое фальшивое: к нему относились, как к чужому, и заметно старались избегать его, да и сам он не искал поводов для сближения. Единственное, что оставалось, — это брат Никон. И старшинство лет и непреклонная энергия Никона давали ему известный перевес. Время от времени Леонид уезжал в Землянский завод, чтобы повидаться с братом, и каждый раз возвращался оттуда таким бодрым, с новым запасом сил, точно молодел на несколько лет. Никон все еще ходил с блендочкой и, по-видимому, нисколько не тяготился своим положением. Чем хуже его другие рабочие? Он желает быть таким же, и только. Да, он ест свой трудовой хлеб, а там увидим.

— Мы еще тряхнем Федотом Якимычем, — говорил Никон с обычным спокойствием, посасывая коротенькую английскую трубочку.

— Меня удивляет только одно, Никон, — отвечал Леонид, — ты говоришь об этом звере таким тоном, точно он тебе нравится.

— А что же? Ты, пожалуй, и угадал. Мне старик действительно нравится, нравится именно выдержкой характера. Посмотри, как

он систематически давит нас с тобой... Это, брат, настоящая сила, только дурно направленная; а я люблю всякую силу. Решительно Федот Якимыч мне нравится... В нем есть кровь.

Никон жил в Землянском заводе, вместе с матерью, в отцовском старом домике. Обстановка была самая бедная, почти нищенская, но Никон ничего не хотел замечать и довольствовался малым. Даже свою камлотовую шинель и цилиндр он забросил и стал ходить летом в татарском азяме, а зимой — в нагольном полушубке, — так было удобнее. Если кто жаловался и постоянно скорбел, так это старуха Анна Гавриловна, постоянно болевшая своим материнским сердцем за детей. В сущности это была забитая и тихая старушка, прошедшая слишком тяжелую школу. Она могла только плакать бессильными слезами и во всем слепо повиновалась Никону, на которого молилась.

— Погоди, мать, будет и на нашей улице праздник, — говорил Никон в веселую минуту. — А Федота Якимыча мы узлом завяжем, да...

Никто так весело не умел смеяться, как Никон, хотя это случалось с ним очень редко, — точно солнце осветит, когда он улыбается. Так смеялся Федот Якимыч, — у них была эта общая черта. Намеки Никона на то, что он что-то устроит главному управляющему, ужасно беспокоили старуху-мать, и раз она по секрету сообщила свои опасения Леониду.

— Устроит он, Никон-то, как пить даст, — шепотом говорила она, хотя в комнате никого не было. — Знаешь, какой у него характер? Бесстрашный он... В кого, подумаешь, и уродится такой человек!

— Ничего, мать, и так сойдет, — успокаивал Леонид. — Мало ли сгоряча что говорится.

У Никона действительно был замысел, хотя, по-видимому, он ничего и не делал. Правда, за ним был устроен негласный дозор, и каждый шаг его был известен Федоту Якимычу. Единственное, что он позволял себе, это то, что он выходил на работу позже получасом и на столько же уходил раньше. Сначала рабочие шутили над заграничным и потихоньку ждали, что сделает с ним Федот Якимыч, а когда тот оказался бессильным, рабо-

чие догадались, в чем дело. Переговоры, глухой ропот и шептанье по углам разрешились открытым бунтом, то есть, когда ударили поденщину, никто из рабочих не шевельнулся. Только когда пришел Никон, вышли и рабочие. Это ничтожное в своей сущности событие подняло на ноги все крепостное начальство, а сам Федот Якимыч приехал на Медный рудник в сопровождении горного начальника и горной стражи.

— Где бунтовщики? — кричал Федот Якимыч, не вылезая из экипажа. — В остроге сгною!.. Запорю!..

Рабочие были подняты из шахты и выстроены в две шеренги. Бунтари представляли из себя очень жалкий вид. Желтые, изможденные, они точно сейчас только были откопаны из земли, как заживо похороненные покойники. В числе других стоял и Никон, выделявшийся и ростом и крепким сложением.

— Не ладно поденщину отдают, — послышался из толпы робкий голос.

— А, поденщину? — заревел Федот Якимыч. — Кто это сказал? Выходи!

— Действительно, неверно, — ответил сме-

ло за всех Никон. — На целых полчаса раньше... Это не по закону. И с работы отпускают получасом позже...

— А, так это ты? — обрадовался Федот Якимыч. — Давно я добирался до тебя, голубчик... Казаки, берите его и ведите его ко мне в дом. Там мы поговорим.

Казаки подхватили Никона под руки и повели в господский дом, а Федот Якимыч остался для окончательной расправы на руднике. Когда Никона вели по Медной улице, из всех окон выглядывали любопытные лица и сейчас же прятались. А Никон шагал совершенно спокойно, точно шел в гости. Около господского дома толпился народ, когда привели Никона и поставили во дворе перед красным крыльцом. Он оставался невозмутимым по-прежнему, В эту минуту на крыльцо торопливо вышла Наташа.

— Никон Зотыч, пожалуйте в горницы, — смело пригласила она. — А казакам подадут по стакану водки в кухне... Эй, отпустите его!

Казаки расступились, — все знали в лицо дочь главного управляющего. Никон спокойно посмотрел через очки своими близоруки-

ми глазами на неизвестную ему женщину и спокойно поднялся на крыльцо. Наташа стояла перед ним такая молодая, красивая, взволнованная и счастливая. Она была сегодня в красном шелковом сарафане и в белой шелковой рубашке. Опустив глаза, она шепотом проговорила:

— Пожалуйте в горницы...

Никон молча пошел за ней. Когда вошли на парадную половину, он огляделся кругом, оглядел стоявшую перед ним молодую женщину и спокойно спросил:

— А вы-то кто такая будете, сударыня?

— Я-то... дочь Федота Якимыча, а зовут меня Наташей, — смело ответила Наташа и первая протянула руку гостю. — Садитесь, гостем будете...

— Вы здесь живете?

— Нет, я отдельно... Я замужняя.

— А я думал, что вы девушка...

— Какой вы смешной!.. У девушек коса бывает...

Никон сел на первый стул, заложил ногу на ногу и раскурил свою трубочку. Наташа молчала и только поглядывала на него испод-

лобья своими бархатными глазами.

Можно себе представить изумление Федота Якимыча, когда он явился домой для расправы с гордецом Никашкой. Казак Мишка еще за воротами доложил ему, что Никон сидит в горнице и курит трубку. Старик точно остолбенел, а потом быстро вбежал на крыльцо, распахнул двери в горницы, да так и остановился, как только взглянул на Наташу.

Вот это чья работа!..

— Трубку-то, трубку проклятую брось, басурман! — закричал он, топая ногами — Ведь образа в переднем углу, нехристь, а ты табачищу напустил...

Никон поднялся, сунул трубку в карман и с любопытством посмотрел на хозяина.

— Тятенька, после успеешь обругаться, — вступилась Наташа, — а Никон Зотыч наш гость. Я его позвала сюда.

— Ты?.. Наташа, да ты с меня голову сияла, — застонал старик, хватаясь за свои седины. — Бунтовщик... смутьян... а ты ведешь его в горницы! Да ему в остроге мало места... Рабочих перебунтовал, сам поклониться не умеет порядком. Что же это такое?

— Никон Зотыч правильно делал, — ответила Наташа. — Вы обманывали рабочих поденщиной, а он справедливый...

— Я никого не бунтовал, Федот Якимыч, — проговорил Никон своим обыкновенным тоном. — Вы сами знаете, что это так...

Федот Якимыч повернулся к дочери и повелительно указал на дверь. Она без слова вышла. Никон продолжал стоять и в упор смотрел на старика, который порывисто ходил по комнате, точно хотел угомонить какую-то мысль.

— Ты, гордец, чего столбом-то стоишь? — крикнул на него Федот Якимыч, круто повернувшись лицом. — Порядков не знаешь...

Никон сел и заложил по привычке ногу за ногу, а Федот Якимыч принялся бегать по горнице. Изредка он останавливался, быстро взглядывал на Никона, что-то бормотал себе в бороду и опять начинал ходить. Наконец, он устал, расстегнул давивший шею воротник ситцевой рубахи и остановился. Посмотрев на Никона одно мгновение, он быстро подошел к нему, крепко обнял, расцеловал прямо в губы и проговорил:

— Люблю молодца за обычай... А теперь убирайся к черту, да смотри, на глаза мне не попадайся, коли хочешь быть цел.

Глава 6

Леонид очень беспокоился о судьбе Никона, когда стороной услышал о происходившем на Медном руднике бунте. В участии Никона он не сомневался, а потаенная крепостная молва разнесла, что он арестован и содержится под стражей. Правильной почты между заводами не существовало, а ссылаться приходилось при оказии. Да и писать брату Леонид не решался, потому что письма могли перехватить и тогда досталось бы по пути и ему.

Раз летним вечером, когда Леонид заканчивал какую-то работу в своей конторе, к господскому дому, где жил Григорий Федотыч, сломя голову прискакал верховой. Все служащие переполошились: это был «загонщик», ехавший впереди самого Федота Якимыча. Эти поездки главного управляющего с завода на завод обставлялись большою торжественностью: впереди летел загонщик, за ним на пятерке с форейтором мчался тяжелый до-

рожный дормез, а позади дормеза скакали казаки горной стражи и свои заводские лесообъездчики. Так было и теперь. По случаю хорошей погоды дормез был открыт, и в окна заводской конторы можно было рассмотреть, что Федот Якимыч сидел рядом с каким-то высоким господином в цилиндре, а на козлах рядом с кучером сидел изобретатель штанговой машины Карпушка.

— Да ведь это Никон! — крикнул кто-то из служащих. — Он самый... Рядом с Федот Якимычем сидит. Вот так фунт!

Острый рабий глаз не ошибся: Федот Якимыч приехал в Новый завод действительно в сопровождении Никона и Карпушке. Старик был в веселом настроении и, не вылезая из экипажа, проговорил, указывая глазами на Карпушку:

— Отвяжите этого подлеца да пусть протрезвится в машинной.

Изобретатель Карпушка действительно был привязан к козлам, потому что был пьян и мог свалиться. Он так и не просыпался с тех пор, как выпил большую управительскую рюмку из собственных рук Федота Якимыча.

Его развязали, сняли с козел, встряхнули и повели в контору, где «машинная» заменяла карцер (свое название это узилище получило от хранившейся здесь никуда негодной, старой пожарной машины). Сделав несколько шагов, Карпушка неожиданно вырвался, подбежал к экипажу и хрипло проговорил:

— Федот Якимыч родимый... одну рюмочку... совсем розняло...

— Ах ты, ненасытный пес! — обругался старик, но велел подать рюмку.

Григорий Федотыч был на фабрике, и гостей приняла одна сноха Татьяна, трепетавшая в присутствии грозного свекра.

— Ну, принимай дорогих гостей, — пошутил с ней старик. — Вот привез вам двух гостинцев... Выбирайте, который больше поглянется. Ну, а что попадья? Прыгает?.. Ах, дуй ее горой!.. Вечером, Никон, в гости пойдем к попу... Одно удивление, а не поп. Левонид-то у них на квартире стоит. Вот так кампанию завели... ха-ха! И немка с ними...

Никон рассеянно молчал, не слушая, что говорит владыка. Это молчание и рассеянность возмущали Федота Якимыча всю дорогу

и он несколько раз принимался ругать Никона.

— Да ты что молчишь-то, басурман? Ведь с тобой говорят... С Карпушкой-то на одно лыко тебя связать. Уродится же этакой человек... Не гляди ты, ради Христа, очками своими на меня: с души воротит.

Вечером, когда у попа пили чай, пожаловали приехавшие гости, то есть Федот Якимыч и Никон. Старик, помолившись образу, сейчас же преподнес попадье таинственный сверток, расцеловал ее и проговорил:

— Это тебе поминки от меня, попадья, чтобы не забывала старика, а от Наташи поклонник отдельно... Ну, здравствуй, хохлатый!

На Гордеевых в первую минуту Федот Якимыч не обратил никакого внимания, точно их и в комнате не было. Никон поцеловал руку у Амалии Карловны, а попадье поклонился издали. Это опять рассмешило Федота Якимыча.

— Чего ты басурманом-то, Никон, прикидываешься? — шутил старик. — Руку у немки поцеловал, теперь целуй попадью прямо в губы... У нас, брат, попросту!.. А я-то и не поздо-

ровался с немочкой. Ну, здравствуй, беляночка!

Федот Якимыч хотел ее обнять и расцеловать, как попадью, но та вскрикнула и выбежала из комнаты.

— Ишь, недотрога царевна! — смеялся старик. — Ладно я ее напугал... А того не подумала, глупая, что я по-отечески... Старика можно поцеловать всегда. За углом нехорошо целоваться, а старика да при людях по обычаю должна.

Попадья не сводила глаз с Никона, точно хотела прочесть в нем тайные думы Наташи. «Вот понравится сатана пуще ясного сокола», — невольно подумала она, легонько вздыхая. А Никон пил чай и ни на кого не обращал внимания, точно пришел к себе домой. Это невнимание задело попадью за живое. «Постой, голубчик, ты у меня заговоришь, даром что ученый», — решила она про себя. Хохлатый поп, по обыкновению, шагал из угла в угол и упорно молчал, точно воды в рот набрал. Федот Якимыч разговаривал с Леонидом о заводских делах, — давешнее веселое настроение соскочило с него разом, и он начал

поглаживать свою бороду. Амалия Карловна несколько раз появлялась в дверях и пряталась, точно девочка-подросток. Попадья делала ей какие-то таинственные знаки, но немка ничего не хотела понимать, отрицательно качала белокурою головкой и глядела исподлобья на гостей.

— Послушайте, да вы что пнем-то сидите? — обрушилась неожиданно попадья на Никона. — Ну, спойте что-нибудь по крайней мере... Я вам на гитаре сыграю.

— Так его, хорошенько! — похвалил Федот Якимыч. — Не с кислым молоком приехали.

Никон поднял глаза на бойкую попадью и безотчетно улыбнулся. «Да он хороший!» — удивилась попадья. Их глаза встретились еще в первый раз. Попадья беззаботно тряхнула головой, достала гитару и, заложив по-мужскому ногу за ногу, уселась на диван. Федот Якимыч подсел к ней рядом.

— Ну, милушка, затягивай, — упрашивал он. — Да позаунывнее, чтобы до слез проняло. Уважь, Капитолинушка...

Когда раздались первые аккорды и к ним присоединился красивый женский контраль-

то, Никон даже поднялся с места, да так и впился своими близорукими глазами в мудреную попадью. Отлично пела попадья, а сегодня в особенности. И красивая была, особенно когда быстро взглядывала своими темными глазами с поволокой. Федот Якимыч совсем расчувствовался и кончил тем, что вытер скатившуюся старческую слезу. И Никон чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное, точно вот он упал куда-то и не может подняться, но это было сладкое бессилие, как в утренних просонках.

Амалия Карловна воспользовалась этим моментом и знаками вызвала мужа в другую комнату. Здесь она с детскою порывистостью бросилась к нему на шею и заплакала.

— Милочка, что с тобой? — изумился Леонид, целуя жену.

— Да как он смел... — повторяла немка, задыхаясь от слез. — Так обращаются только с крепостными...

— А попадья?

— Она другое дело, Леонид... Потом он так посмотрел на меня... нехорошо посмотрел.

— Да ведь он — старик. А впрочем, как зна-

ешь...

Немка так и не показалась больше. Она заперлась в своей комнате, сославшись на головную боль. Когда попадья объявила об этом, Федот Якимыч погладил свою бороду и крякнул. Впрочем, он сейчас же спохватился и принялся за серьезные разговоры с Леонидом.

— Я привез к тебе брата, ты у меня и будешь за него в ответе, — объяснил старик. — Положим, мы с ним помирились, а все-таки ему пальца в рот не клади... Насквозь вижу всего! Одним словом, лапистый зверь. Он будет у вас на Новом заводе меховой корпус строить, а Карпушка будет помогать. Наказание мое этот Карпушка: с кругу спился мужик... И с чего бы, кажется? Ума не приложу... Уж я с ним и так, и этак, и лаской, и строгостью — ничего не берет. Дурит мужик... Ты его тоже к рукам прибери: с тебя взыскивать буду.

— Да что же я с ним поделаю, Федот Якимыч? — взмолился Леонид.

— А уж это твоего ума дело... Не люблю, когда со мной так разговаривают. Слышал? Не

люблю. Учился у немцев, а не понимаешь того, как с добрыми людьми жить. Я бы Григорию Федотычу наказал, да не таковский он человек: характер потяжелее моего.

Ужин прошел довольно скучно, несмотря на все усилия попадьи развеселить компанию. Все были точно связаны. Никон сидел рядом с попадьей, и она не утерпела, чтобы не спросить его шепотом:

— А вы Наташу знаете?

— Какую Наташу?

— Ну, дочь Федота Якимыча... Красивая такая женщина — кровь с молоком.

— Ах, да...

— Что да?

— Ничего...

Попадья улыбнулась одними глазами и даже отодвинулась от Никона, — очень уж пристально он смотрел на нее. «Этакой мудреный, Христос с ним, — подумала попадья. — Ничего с ним не сообразишь». Поп Евстигней промолчал все время, и все время никто не обращал на него внимания, как на бедного родственника или приживальца.

— Вот что, Леонид, ты скажи жене мой по-

клонник, — говорил Федот Якимыч на прощание. — Так и скажи, что старик Федот Якимыч кланяется...

Никон на прощание так крепко пожал руку попадье, что та чуть не вскрикнула.

На другой день утром Федот Якимыч опять заявился в поповский дом, на этот раз уже один. Леонид был на службе, попа увезли куда-то с требой, а попадья убиралась в кухне. Старик подождал, когда выйдет «белянка».

— Заехал проститься... — коротко объяснил он, когда Амалия Карловна вышла в гостиную.

— Вы уже уезжаете? Так скоро... — ответила немка и посмотрела своими ясными глазами прямо в душу старику.

— А зачем ты вчера убежала? — в упор спросил старик. Я ведь к тебе, беляночка, не с худом... Ну, чего смотришь-то так на меня? Для других я и крут и строг, а для тебя найдем и ласковое словечко...

— Благодарю, но я не знаю, чем я заслужила ваше внимание... — смущенно ответила Амалия Карловна.

— Чем? А уж это как кому бог на душу по-

ложит. Поглянулась ты мне с первого разу — и весь сказ... Вот попадью тоже люблю, Никашку-гордеца помирил. Ну, как живёшь-можешь: скучно, поди, в другой раз?.. Да вот что, беляночка, принеси-ка мне, старику, рюмку анисовки, — у попа есть. Я из твоих рук хочу выпить...

Немка быстро ушла, а Федот Якимыч присел к столу, положив свою седую голову на руки, да так и застыл. С ним делалось что-то странное, в чем он сам не мог дать себе отчета. Зачем он пришел сюда? Еще, на грех-то, поп хохлатый воротится... Ох, стыдобушка головушке! Когда немка вернулась с рюмкой анисовки, старик молча выпил ее, посмотрел еще раз на «беляночку» и проговорил:

— Ну, не поминай лихом старика, немка...

Она чуть улыбнулась, и Федот Якимыч весь побагровел.

— Чему обрадовалась-то, а?.. Эх, да что тут толковать... Прощай!

Попадья подслушивала всю эту сцену и укоризненно качала головой. Когда старик вышел, она скрылась в свою кухню как ни в чем не бывало. Амалия Карловна ушла в свою

комнату, заперлась и заплакала. О чем были эти слезы, она ничего не могла бы сказать, но ей так сделалось грустно, так грустно, как еще никогда. Ей вдруг страстно захотелось уехать отсюда, туда, в свои зеленые горы, точно пришла какая-то неминучая беда. Сердце так и ныло. Первая ложь в ее жизни была та, что она ничего не сказала мужу о визите Федота Якимыча и о своем разговоре с ним. Попадья тоже молчала, точно воды в рот набрала, но по выражению ее лица Амалия Карловна видела, что попадья все знает. Это фальшивое положение мучило немку, и вместе с тем в ее душе таинственно образовался какой-то собственный мирок.

Первым вопросом после отъезда Федота Якимыча было то, как устроить Никона. Он пока перебивался в господском доме, у Григория Федотыча, но оставаться там было неудобно.

— Разве мы поместим его у себя? — спрашивал раз Леонид. — Я могу ему уступить свою комнату.

— Да удобно ли ему будет? — заметила попадья. — Мы-то ведь попросту живем...

— Да и он простой человек, Капитолина Егоровна...

Попадья политично промолчала и только мельком взглянула на своего хохлатого попа. В результате вышло все-таки то, что Никон поселился в господском поповском доме. Правда, дома он почти не бывал: уходил на работу в пять часов утра, приходил в двенадцать часов обедать, а потом опять на работу до позднего вечера. Дома он был занят разными чертежами, сметами и вычислениями.

Глава 7

Амфея Парфеновна была встревожена. Пока особенно еще ничего не случилось, но ее беспокоило поведение Наташи. С бабой творилось что-то неладное... Немушка Пелагея примечала то же самое, мычала и показывала рукой вдаль, дескать, беда Наташина там, в Новом заводе, с очками на носу и в шляпе.

Старуха отлично понимала все, что говорила немушка, и должна была соглашаться. Наташа мало теперь жила в Землянском заводе, а все уезжала в Новый под предлогом гостить у брата Григория Федотыча.

— Эх, муж у Наташи плох, — жалела стару-

ха. — Польстились тогда на богатство... Ну, да бог не без милости. И не такая беда избывается...

Купец Недошивин, муж Наташи, был недалекий и добрый человек, страдавший купеческим ярмарочным запоем. У него был свой каменный дом в Землянском заводе и каменная лавка с красным товаром. Дело велось плохо, и наживались одни приказчики, а хозяину доставалась «любая половина» из выручки. Впрочем, Недошивин не любил считать барышей, а проводил день, играя в шашки с другими купцами. К вечеру он шел куда-нибудь в гости или напивался дома. Наташа оставалась дома одна и не знала, куда ей деваться с своим бездельем. Обыкновенно она уезжала к матери, если заберет тоска, а то укатит в Новый завод, чтобы отвести душеньку с попадьей. Амфея Парфеновна редко навещала зятя, потому что не выносила пьяниц вообще. Но ввиду экстренного дела она решилась проведать Наташу и нежданно-негаданно нагрянула к обеду. Это было целое событие, когда старуха собиралась куда-нибудь в гости. Даже беспечная Наташа — и та чувствовала в себе

какой-то детский страх, когда приезжала дорогая гостья.

— Ну, как живете-можете? — строго спрашивала Амфея Парфеновна, чинно усаживаясь на поданное зятем кресло. — Проведать вас приехала...

— Ничего, мамынька, живем, пока мыши головы не отъели, — отвечал зять с напускною развязностью. — А между прочим, покорно благодарим...

Старуха взглянула на его заплывшее и опухшее лицо, на слезившиеся глаза, на молчавшую Наташу и строго покачала головой.

— Когда успел наклюкаться-то? — укоризненно проговорила она. — На дворе свят день до обеда, а ты уж языком-то заплетаешься...

— Мамынька, вчера в гостях был...

— У нас каждый день одна музыка, — заметила Наташа, — с утра пьяны...

— А не твое дело мужу-то указывать! — накинулась на нее старуха. — В другой раз жена-то должна и помолчать: видит — не видит... Плох у тебя муж-то!.. Это я ему могу сказать, потому как постарше его, а твое дело совсем маленькое.

— Верно, мамынька! — одобрительно проговорил Недошивин. — А, промежду прочим, я на Наташу не жалуюсь, живем ничего.

— Какая это жизнь, мамынька? — взмолилась Наташа. — Тоска одна... Глаза бы мои не смотрели на безобразие-то на наше.

Это только было и нужно Амфее Парфеновне. Она с раскольничьею настойчивостью начала отчитывать дочери разные строгие слова, а главное, что должна уважать мужа больше всего на свете. «Господь соединил, а человек да не разлучает... Да. Мужем дом держится, а жена без мужа — как дом без крыши. И худой муж, все-таки — муж... Другой муж и с пути свихнется от своей же жены, а домашняя беда хуже заезжей в тысячу раз. Строгости у вас в доме никакой нет — вот главная причина».

Наташа выслушала эти грозные речи с почтительным молчанием, как была приучена еще в родительском доме, и ничего не ответила матери, а только тихо заплакала. Недошивин смотрел с недоумением то на тещу, то на жену и кончил тем, что хлопнул рюмку водки самым бессовестным образом.

— Эх, мамынька! — бормотал он, смущенный собственною смелостью. — Ничего я не понимаю, простой человек.

— Вот то-то и лиха беда, что прост ты, — пилила старуха, — а другой раз наша-то простота хуже воровства... Поучил бы жену хоть для примеру. Все-таки острастка...

— Как я ее буду учить-то? — взмолился Недошивин. — Не бить же ее мне, мамынька?

— Ну, и бей! — с ожесточением говорила Наташа. — Ну, бей!.. Все бейте меня, а я в своем дому чужая...

— Опомнись, полоумная, что говоришь-то? — испугалась Амфея Парфеновна: она знала азартный характер Наташи.

— Бейте, бейте! — повторяла Наташа, захлебываясь от слез. — Я хуже скажу...

Вся сцена кончилась тем, что Наташа совсем расплакалась, и Амфее Парфеновне пришлось ее же утешать. Старуха сделала зятю знак, чтоб он уходил. Недошивин обрадовался случаю улизнуть. Наташа рыдала, закрыв лицо руками. Этот приступ такого искреннего горя совсем обескуражил Амфею Парфеновну.

— Милушка, родная, чем я тебя разобиде-

ла? — ласково заговорила она, обнимая дочь, — Ну, скажи... Все скажи, как на духу.

— Нечего мне и говорить, мамынька... Знаю только одно, что тошно мне... Хоть бы дети были, а то чужая я в дому. Муж — пьяница... Ах, тошно!..

Своею ласковостью Амфея Парфеновна хотела выведать у Наташи всю подноготную, а когда эта попытка не удалась, она угрюмо замолчала. В комнате слышны были только подавленные рыдания Наташи.

— Так ты вот какая! — строго проговорила старуха.

— Какая, мамынька?

— А такая... Все я знаю, милушка, и неспроста к вам приехала. Вот скажу мужу-то, так и узнаешь, какая ты мужняя жена. Страмишь отца с матерью да добрых людей смешишь... Ты думаешь, добрые-то люди не видят ничего? Все, матушка, видят, да еще и своего прибавят... Муж не люб, так другой приглянулся. Сказывай, змея, не таи...

— Ничего я не знаю, мамынька!

— А! не знаешь? Так я тебе скажу, зачем ты в Новый завод ездишь...

— Мамынька, родная...

— К гордецу Никашке ездишь... Все знаю!

Последнее сорвалось с языка Амфеи Парфеновны сгоряча; она могла только подозревать, но определенного ничего не знала. А Наташа даже отскочила от нее и посмотрела такими большими-большими глазами. Ее точно громом ударило.

— Мамынька, господь с тобой!

— Все знаю!.. Ох, согрешила я на старости лет!..

— Как же я-то не знаю, мамынька? Люб он мне, Никон, а только не в чем мне и богу каяться... Он и смотреть на меня не хочет, а ты какие слова говоришь! Я и мужу то же скажу, постылому... Не жена я ему, чужая в дому!.. Судить-то всяк судит, а слез-то моих никто еще не видал...

Так ничего и не добилась Амфея Парфеновна, с тем и домой приехала. Целых два дня она не показывалась из светлицы, а потом позвала Федота Якимыча.

— Сгоняй-ко в Новый завод, Федот Якимыч, да привези мне эту Евстигнееву попадью, — говорила она.

— Нарочного можно послать, Феюшка, — пробовал возразить старик.

— Это я и без тебя знаю. Наслушим всех, ежели через нарочного попадью вытребуем... А с тобой-то она по пути приедет, будто сама выпросилась. Надо мне ее, белобокую сороку... Разговор серьезный имею.

Федот Якимыч пробовал было сопротивляться, но из этого ничего не вышло, — старуха была непреклонна. Целую ночь он ворочался с боку на бок и вздыхал, а наутро в последний раз сказал:

— Не поеду я, Феюшка...

— Нет, поедешь, коли тебе говорят русским языком.

Ну, ехать так ехать... До Нового завода было всего верст сорок. На другой день Федот Якимыч вернулся и привез с собой попадью. Он нарочно приехал затемно, чтобы люди не видали, какую он с собой птицу привез. Попадья тоже струсила и всю дорогу молчала. О грозной раскольнице Амфее Парфеновне она много слыхала, но видать ее не случалось. Зачем ее вызвала старуха, шустрая попадья смутно догадывалась. Всю дорогу она молча-

ла и со страхом вступила в грозный господский дом. Немушка Пелагея провела попадью прямо наверх, в светлицу, к самой Амфее Парфеновне; та грозно оглядела званую гостью и без предисловий спросила:

— Ну, жар-птица, рассказывай, чего вы там намутили? Да у меня, смотри, не запирайся, — насквозь вижу.

Начался грозный допрос. Попадья боялась больше всего, что не о Федоте ли Якимыче пойдет речь, а когда поняла, что дело в Наташе, вздохнула свободно. Никон и внимания никакого не обращает на нее, хотя она действительно сильно припадала к нему и, можно сказать, даже женский свой стыд забывала. Не иначе все это дело, что Наташа испорчена, решила попадья в заключение, выгораживая приятельницу.

— Да ты не вертись, как береста на огне, а говори правду, — несколько раз окрикнула Амфея Парфеновна. — Уж я-то знаю, какая такая есть на белом свете Наташа, не твоего это ума дело... Вот ты про Никона-то все молчишь.

— Никон тут ни при чем, Амфея Парфенов-

на!

— По глазам вижу, что врешь!..

— Сейчас с места не сойти, не вру.

Прижатая к стенке, попадья должна была сознаться, что Никон как будто ухаживает больше за ней, то есть и не ухаживает, а все смотрит. Даже страшно делается, как упрется глазами.

— Ну, это уж твое дело, — совершенно равнодушно ответила Амфея Парфеновна. — Больно песни мастеровато поешь... Тоже слыхали.

Вслед за допросом, успокоившим старуху, началось угощение заезжей попадьи и чаем, и вареньем, и закусками, и наливками. В заключение Амфея Парфеновна подарила попадье большой шелковый платок и даже расцеловала. Попадью отправили домой в ночь, как и привезли, чтобы никто и ничего не видел. У Амфеи Парфеновны точно гора с плеч свалилась, она сразу повеселела. Просто дурит Наташа, потому что муж — дурак. Суди на волка, суди и по волку... Живой человек о живом и думает.

В своих заботах о дочери Амфея Парфенов-

на совсем не заметила, что с Федотом Якимычем творится что-то неладное. Он из лица даже спал, плохо ел и ходил дома ночь-ночью. Днем еще болтается за разными делами — то в заводе, то в конторе, а как пришел вечер, так старик и заходил по горнице — ходит из угла в угол, точно маятник. И ночью не спится старику, как-то обидно ему сделается, и стыдно, и точно все равно. Не замечал он раньше, что состарилась Феюшка, а теперь невольно отвертывался, чтобы не видеть ее старости. А самого так и тянет туда, в Новый завод, хоть бы одним глазом глянуть. Федоту Якимычу вдруг сделалось страшно и за себя, и за весь свой дом, и за всю прожитую жизнь. Что же это такое? Наваждение, колдовство, чары...

— Так нет же, не будет по-твоему! — вслух думал он. — Вздор!..

Он уходил в моленную и горячо молился по целым часам, но и молитва не подкрепляла его, точно молился не он, Федот Якимыч, а кто-то другой. Старик чувствовал, точно холодная вода подступала к нему, и опять он переживал детский безотчетный страх. Хоте-

лось плакать, а плакать было стыдно. А Амфея Парфеновна ничего не хотела видеть, и у Федота Якимыча накипало к жене нехорошее чувство. Как же она-то не чувствует, что делается с ним? И сны у старика были все такие тяжелые и нехорошие. Раз он увидел даже, как пошатнулся на своих устоях старый дедовский дом, а матица погнулась и затрещала, — не к добру такие-то сны.

Когда очень уж приходилось тошно, Федот Якимыч уезжал куда-нибудь на другие заводы, но и это не спасало, — с ним вместе ехала и неотвязная дума, присосавшаяся к его старой душе лютым ворогом. Позванивают дорожные колокольчики, покрикивает лихой «фалетор», а в голове Федота Якимыча тоже звон стоит, и перед глазами ходят красные круги. Так бы вот, кажется, взял бы да и стряхнул с себя свою старость, всю прошлую жизнь, и зажил по-новому, по-молодому.

— Господи, прости меня грешного! — молился старик, в ужасе закрывая глаза.

Наконец он не вытерпел. Надо во всем покаяться Амфее Парфеновне: пусть отмаливает его от дьявольского наваждения. С этою мыс-

лью старик вернулся из последней поездки, с этою мыслью вошел в свой дом, с этою мыслью поднялся наверх в моленную, отворил дверь — и вернулся назад.

— Не могу, не могу, не могу!.. — шептал он, сдерживая рыдания.

Глава 8

На Новом заводе все шло по-старому, то есть так оно казалось со стороны. В поповском доме теперь жилось очень весело сравнительно с тем, как жили тихо раньше. Днем дома оставались только одна женщины, но зато вечером собиралось целое общество: братья Гордеевы, поп Евстигней, а затем частенько приходил Григорий Федотыч. Рассуждали о разных разностях, спорили, иногда садились играть в карты. Был еще человек, который скромно помещался где-нибудь в уголке и молчал: это был изобретатель Карпушка, пригретый Леонидом.

— Ох, уж и надоел он мне, этот Карпушка, — ворчала иногда попадья. — Чего он сидит, как сыч?.. Слова от него не добьешься.

— Он такой же человек, Капитолина Егоровна, как и мы с вами, — объяснял Лео-

нид, — Может быть, и лучше нас с вами...

— У вас все хорошие... А я вот видеть его не могу. Хоть бы водку пил, что ли!.. Мне свой-то молчальник-поп надоел, а тут еще другой на глазах постоянно торчит... Тошнехонько!

Поездка на поклон к Амфее Парфеновне заметно повлияла на попадью: она сделалась как будто тише, и нет-нет, да и задумается. Никона попадья стала просто бояться и по возможности старалась избегать его, что, живя в одном доме, было довольно трудно сделать. Собственно говоря, Никон ничего такого не делал, что представляло бы опасность, но попадья инстинктивно чувствовала на себе его взгляд и смущалась каждый раз, как девчонка. Вообще в попадье явились непонятные перемены. Так, она вдруг, без всякой видимой причины, возненавидела Амалию Карловну и по-женски преследовала на каждом шагу. Это было темное и безотчетное чувство, одно из тех, в которых не дают себе отчета.

А Карпушка сидел в уголке и смотрел, как живут господа. Он вообще имел какой-то растерянный и пришибленный вид, как человек, что-то потерявший или старавшийся что-то

припомнить. С переездом в Новый завод он бросил водку и усердно работал под руководством Никона. Постройка мехового корпуса была уже окончена, и теперь ставили машину. Работы было по горло, а у Карпушки были золотые руки. Он понимал Никона по выражению лица, по малейшему движению и исполнял вперед каждую его мысль. Часто Никон с удивлением глядел на самоучку и только качал головой. Если б этакому способному человеку дать образование, что бы из него вышло? Впрочем, образование еще не делает человека-. Однако как ни крепился Карпушка, а его прорвало, когда меха были кончены и пущены в ход. На открытие приехал сам Федот Якимыч, и было устроено угощение для рабочих.

— Ну, ты, сахар, смотри у меня, — предупреждал Федот Якимыч, подавая опять рюмку Карпушке. — Лучше не пей...

— Больно тяжела твоя-то рюмка, Федот Якимыч, — сказал Карп, залпом выпивая водку. — Точно камнем придавила...

— Дурак ты, Карпушка...

— Я — дурак?

Карпушка засмеялся и потянулся за следующей рюмкой уже без приглашения. Вечером он был мертвецки пьян и устроил скандал по всей форме. Федот Якимыч сидел в господском доме, когда пьяный Карпушка явился к нему. Его, конечно, не пустили в дом, и Карпушке ничего не оставалось, как только буянить под окнами, что он и исполнил.

— Подавай мне Федота Якимыча! — орал Карпушка. — Я ему пок-кажу... да. Пок-кажу, каков человек есть Карпушка... Машину наладил своим умом... Эх вы, страмцы, всех-то вас сложить, так вы одного пальца Карпушки не стоите!

Буяна отвели протрезвиться в машинную, но этот случай испортил Федоту Якимычу целый день. Он нахмурился и мало с кем говорил.

— Он тебя любит, развлекай его, — шепнул Леонид жене, — Ведь старик хоть и самодур, но в нем есть что-то такое... хорошее. Никон прав...

Немка только посмотрела на мужа и ничего не ответила. Вечером мужчины играли в карты, а попадья играла на гитаре и пела. Фе-

доту Якимычу особенно понравилась старинная песня:

У воробушка головушка болела,
Да ах! как болела...
На одну ножку он припадает,
Да ах! как припадает.

— Вот это ты правильно, Капитолинушка! — ободрял старик, отбивая рукой такт. — Головушка болела...

С Амалией Карловной он почти не говорил и точно не обращал на нее никакого внимания. Когда она подошла к нему, по совету мужа, сама, Федот Якимыч заметно смутился и даже опустил глаза.

— Какой вы сегодня странный... — заговорила немка, усаживаясь рядом с ним.

— А што?

— Да так... не походите на себя.

— А какой я, по-твоему-то? Ну-ка, скажи, белянка.

— Вы... а вы не рассердитесь?

— На тебя у меня нет сердца...

— Вы добрый... только все вас боятся.

— За дело строг, за дело и милостив. На всех не угодишь... А што я добр, так ты это

правильно, белянка. Тебя вот полюбил...

Немка замолчала, опустив глаза. Федот Якимыч тяжело вздохнул. Она сидела такая изящная, нежная, беленькая, как девочка-подросток. При огне вечером глаза потемнели, а когда она смеялась, на щеках прыгали две ямочки, какие бывают у пухлых детей. Ах, и хороша же была немочка, особенно когда выглядывала исподлобья, точно сердилась.

— Зачем вы бываете сердитым? — спрашивала она после длинной паузы.

— Ах, беляночка, да ведь нельзя же!.. За всех я один в ответе, как цепной пес: вот и бросаешься на людей. Ты думаешь, я сам-то не понимаю своего зверства? Весьма даже превосходно понимаю... Вот ты теперь сидишь рядом со мной, и тише меня нет.

— И будьте всегда таким, Федот Якимыч...

— А будешь сидеть рядом со мной? — тихо спросил старик.

Этот вопрос заставил немку отодвинуться. Она ничего не ответила, а только опустила глаза. Федот Якимыч широко вздохнул, повернулся на месте и по-прежнему тихо проговорил:

— А ведь попадья-то про меня песню спела: «У воробушка головушка болела»... Сам я не свой, беляночка. Сердце упадет в другой раз, как... Ну, да не об чем нам с тобой разговоры разговаривать. Заболтался я... У тебя свое на уме, у меня — свое.

Немка тихо подняла свои серые глаза и посмотрела прямо в лицо Федоту Якимычу, да так посмотрела, что он привскочил на месте, разгладил седую бороду и сердито отмахнулся рукой. Немка опять опустила глаза и слегка закраснелась, как виноватая.

Стал Федот Якимыч поезживать в Новый завод все чаще и чаще. Приедет будто за делом, а сам целое утро в поповском доме сидит, — попадья толчется бабьим делом на кухне, а немка с гостем прохлаждается. Окончательно не взлюбила ее попадья, да и немка затаилась. Две сердитые бабы в доме хуже двух медведей в одной берлоге. А Федот Якимыч точно ничего не замечает.

— Камень ты самоцветный, беляночка, — ласково говорит он, когда в комнате никого нет, — И дорогой камень...

— Будто? — удивляется немка.

— В парче бы тебе ходить да в золоте.

Очень уж ласково умела смотреть немка, — как взглянет, так и упадет стариковское сердце. Пробовал он было привезти ей подарок, но немка даже обиделась и замахала руками.

— За кого вы меня принимаете, Федот Якимыч? Ничего мне не нужно.

— А нехорошо гордиться перед стариком... Я не для обиды, а в честь.

Раз Федот Якимыч попался, как кур во щи. Он приехал прямо к поповскому дому, а лошадей одних отправил в господский. Дело было утром. Входит в комнату, а там Наташа сидит с попадьей. У старика даже руки опустились.

— Ты... ты зачем здесь? — бормотал старик виновато. — Как сюда-то попала?

— Как и раньше, тятенька... К попадье в гости приехала.

Наташа была такая скучная да туманная и ничего не заметила. Федот Якимыч посидел с бабами, поговорил для приятличия и, не видавши немки, ушел в господский дом. Попадья только вздыхала, — очень уж тяжело при-

ходилось ей с квартирантами. Того и гляди, беду наживешь. Наташа еще ничего, а как придется ответ держать за Федота Якимыча? Амфея-то Парфеновна шутить не любит: такого жару задаст всем, что не обрадуешься. Вон она какая — медведица... Федот Якимыч на этот раз так и не заглянул больше в поповский дом, а послал за Наташей и увез ее с собой домой. Всю дорогу он молчал, молчала и Наташа. У каждого была своя дума.

Братья Гордеевы продолжали свою службу по-прежнему. Никон заново перестраивал помаленьку весь завод, а Леонид все сидел в своей конторе. Не весело было у них на душе, хоть оба и молчали. Никона тяготила эта куриная работа: вот домну перестроит, поставит катальную машину, а дальше что?.. Разве к этому он готовился, об этом замышлял?.. Иногда Никону просто делалось жаль самого себя: не на своем он месте. Его отчасти мирила с жизнью в Новом заводе разбитная попадья. Он не то чтобы ухаживал за ней, а просто чувствовал себя легче в ее присутствии. А время идет день за днем, неделя за неделей — лучшее, молодое время. Крепкий был человек

Никон и не любил жаловаться на свою судьбу, но ему делалось подчас тошно, и он начинал понимать настроение Карпушки. Даже делалось завидно, что вот человек хоть водкой может залить свое горе, а он и этого сделать не в состоянии. Карпушка быстро «привесился» к новому механику и жил на льготных условиях. Неделю работает, две пирует. А как напьется, сейчас пристанет к Никону:

— Я — цепная собака, и ты, Никон Зотыч, не лучше меня... На одной цепи-то сидим, только я маненько поумнее тебя. Мозговитый я человек — вот главная причина. Могу все понимать...

— Негодяй ты, вот что, — ругался Никон.

Леонид тоже молчал, но у него были свои мысли. О, как он мучился и страдал!.. Но эти страдания были скрыты, как родниковая вода в глубинах земных недр. Никто и не подозревал, как мучился Леонид, и это доставляло ему какое-то жестокое наслаждение. Да, он все видел, чувствовал, понимал и молчал. Слепнущий человек, когда перед ним закрывается мир, чувствует, вероятно, то же — мучительную и гнетущую темноту, которая об-

ступает со всех сторон. Сознание собственного бессилия, оскорбленной гордости, попранного святого чувства — все это складывалось в одно гнетущее настроение, которому не было ни выхода, ни названия. Свет закрывался у него в глазах. Беда была у себя дома, она приходила и уходила вместе с ним, вместе с ним ложилась спать, поднималась утром и могильным камнем давила весь день.

«За что? — повторял про себя Леонид, ломая руки. — Маличка, что ты делаешь!.. Чувствуешь ли, как я страдаю?»

Жене Леонид не говорил ничего, да и что он мог ей сказать? Она его любила, очень любила, но куда все это девалось? Перед ним была другая женщина, чужая и неизвестная ему, далекая и неприятная. Как все это могло случиться? Он первый заметил, что Маличка нравится Федоту Якимычу, и даже сам как-то просил ее занимать старика... Не смешно ли ревновать ее к нему? Ведь это глупо, обидно и нелепо... А между тем это было так. Маличка любила Федота Якимыча, потому что старик был еще хорош оригинальною старческою красотою, энергией, умом и своею особенною

ласковостью. К нему навстречу пошла проснувшаяся в Маличке женщина, а та девочка, которая любила Леонида, умерла... Да и как любить его, крепостного служащего, запертого в этой проклятой мышеловке? Леонид чувствовал, что жена изверилась в нем, что она больше не уважает его и не чувствует того, что было раньше. Да, было и прошло... и не воротишь! Несколько раз Леонид хотел по душе поговорить с женой, раскрыть ей всю душу, но она смотрела на него такими чужими глазами, что слова замирали у него на губах. И это повторялось каждый раз, когда он видел ее. Без нее он отлично знал, что должен сказать ей и как сказать — убедительно, просто, душевно, а при ней все это замирало, и он мог только молчать. Иногда ему казалось, что он начинает ненавидеть жену, и сам пугался своего настроения.

«Но ведь она ребенок... Она не понимает сама, куда идет, — думал Леонид в тысячу первый раз. — Нужно ей объяснить, растолковать, наконец, внушить».

Но все это были слова, слова, слова... Леониду мешала и своя оскорбленная гордость и

скрытность жены, и тонкое понимание каждого ее движения. О, он по ее глазам знал, когда Федот Якимыч приедет, когда ей было весело, когда нападали минуты раздумья и когда накатывалась полоса непонятного, но упрямого желания плыть по течению... Господи, как все это глупо, невероятно, и еще раз глупо!.. Часто Леонид начинал думать, что уж не сходит ли он с ума и что все это плод его расстроенного воображения. Но стоило ему взглянуть на жену, как он сейчас же видел, что все это — правда, правда, правда...

Глава 9

Первая поездка Амалии Карловны в Землянский завод решила все дело. Леонид чувствовал, что этим все кончается, но не противоречил и не отговаривал жену. Только перед отъездом, когда уже были поданы лошади, он сказал ей:

— Маличка, не лучше ли остаться? Мало ли что может случиться дорогой...

Она быстро посмотрела на него и точно испугалась. Это был момент нерешительности, но Леонид не мог им воспользоваться, — вся кровь бросилась ему в голову, и горло точно

что сдавило. Да, он был горд и не хотел просить, умолять, плакать, грозить. К чему? Все понятно и без жалких слов. Для чего унижать себя, когда он и без того чувствовал себя таким несчастным, безгранично несчастным?

Так Маличка и уехала, а Леонид затворился в своей комнате. Он плакал, рвал на себе в отчаянье волосы, — ведь она хуже чем умерла для него. Нет, лучше, если б она умерла. Муки были слишком сильны, и Леонид изменил себе. Дело было летом, он взял верховую лошадь и отправился догонять жену. Двадцать верст пролетели незаметно, лошадь выбилась из сил. Догнал он жену уже на второй половине. Она, видимо, смутилась и велела кучеру остановиться...

— Что вам угодно? — спросила она с деланною смелостью.

— Маличка, вернись... родная... голубка... что ты делаешь?

Она посмотрела на него, отвернулась и сказала всего одно слово:

— Поздно...

Он без слов повернул лошадь и поехал обратно, не оглянувшись ни разу. Домой вер-

нулся Леонид только на другой день, вернулся пешком, измученный, разбитый, сумасшедший. Два дня он не выходил из своей комнаты, и попадья слышала, как рыдал этот крепкий и гордый человек, точно заблудившийся в лесу ребенок.

— Растерзать мало эту проклятую немку, — повторяла попадья про себя. — Что-нибудь сделает он над собой... На кого польстилась-то, отчаянная? Муж молодой, а тут седой старик... Стыдно и подумать-то!

Все-таки нужно же было что-нибудь предпринять. Пробовала попадья разговаривать с своим хохлатым попом, но из этого решительно ничего не вышло: поп посмотрел на нее удивленными глазами, пожал плечами и решительно ничего не ответил. В запасе оставался один Никон, и попадья обратилась к нему с необходимыми предосторожностями. Он внимательно выслушал, помолчал и спросил:

— Что же вам, собственно, от меня нужно, Капитолина Егоровна?

— Как что? Да ведь Леонид Зотыч не чужой вам... Добрые люди родным братом назы-

вают.

— Все это так, но мой принцип никогда не вмешиваться в чужие дела... Не думаю, чтоб я мог поправить такое дело своим непрошеным вмешательством.

— А если он что сделает над собой?

— Опять-таки не мое дело, Капитолина Егоровна... Конечно, мне его жаль, как и всякого другого человека на его месте, но ведь я не могу сделать Амалию Карловну умнее и честнее, не могу заставить ее полюбить мужа.

— Ах, согрешила я с вами, грешная! — взмолилась попадья, ломая руки. — Все-то вы какие-то оглашенные собрались. Ведь я дело вам говорю и попу своему то же говорила. Ах ты, господи-батюшко!

Попадья даже всплакнула с горя, а Никон сидел, молчал и смотрел на нее. Хохлатый поп тут же шагал из угла в угол и тоже молчал.

— Что вы глядите-то на меня, окаянные? — накинулась на них попадья с внезапным азартом. — Ну, что уставились? Не узоры на мне нарисованы... Убирайтесь с глаз долой! Глядеть-то на вас тошнехонько... Всю душу

вымотали, оглашенные.

Попадья так и выгнала из дому и попа Евстигнея и Никона. Они не спорили и пошли вместе в завод как ни в чем не бывало. А попадья высунулась в окно и обругала их вдогонку еще раз.

— Батька, а погода стоит отличная, — задумчиво говорил Никон, шагая с заложенными в карманы брюк руками и посасывая свою английскую трубочку.

— Скоро ерши будут отлично клевать, — ответил поп Евстигней, страстный рыболов.

«Этакой дурак поп!» — невольно подумал Никон, сплевывая сквозь зубы.

Немка вернулась только через три дня, — вернулась как ни в чем не бывало, веселая и счастливая. Она навезла с собою разных покупок, но никому не показывала, а спрятала куда-то в комод.

В поповском доме начался тот семейный ад, которому нет названия. Амалия Карловна бравировала своим новым положением и делала, кажется, все, чтобы вызвать мужа на какой-нибудь крайний поступок. Его немой укор она встречала отчаянною решимостью и

шла вперед, очертя голову. Леонид отказывался даже понимать, что с ней творится. А между тем дело было ясно, как день. Немке нравилось, что она покорила силу, ею овладел инстинкт разрушения: пусть все рушится, как испорчена и ее жизнь. Ей нравился и сам Федот Якимыч в его старческой красоте, горевшей последним огнем запоздалой страсти. Да, все пусть рушится... Немка точно выкупала свое собственное крепостное бесправие разрушением крепкой старинной семьи, покоившейся на вековых устоях. Федот Якимыч — все-таки сила, и страшная сила, и приятно, когда такая сила ползала у ее ног. А старик совсем потерял голову и готов был сделать в угоду немке решительно все на свете, — у него не осталось даже того стыда, который удерживает мужчину от последних глупостей. Это был настоящий пожар, который оставляет после себя только пепел.

— Муж меня зарежет, — говорила Амалия Карловна.

— Не смеет... Молокосос твой муж, вот что!

— Нет, зарежет, я это знаю. Но мне решительно все равно... Мне жить надоело.

Часто бывало так, что Федот Якимыч готов был по привычке вспылить, но стоило немке взглянуть на него, как он сейчас же стихал, точно обваренный кипятком. У него не было слов, не было мыслей, не было воли... А немка нарочно делала все, чтобы поставить старика в неловкое и фальшивое положение: ездила сама в Землянский завод, заставляла Федота Якимыча приезжать в Новый через день и т. д. Она добивалась упорно одного: именно, чтобы Амфея Парфеновна, наконец, все узнала. Что-то тогда будет? От одной мысли у немки кружилась голова. О, она теперь — сила, и пусть другие переживают то, что переживала она.

Но, как назло немке, Амфея Парфеновна ничего не хотела замечать: весь Землянский завод кричал о немке, а она ничего и не подозревала, точно кто напустил на нее слепоту. Правда, она видела, что с мужем творится что-то неладное, но объясняла это нездоровьем или разными делами. Частые поездки в Новый завод тоже имели свое толкование: там шла перестройка фабрики, а Никону Федот Якимыч не доверял. Знали о случае Федо-

та Якимыча и немушка Пелагея и Наташа, и обе молчали, потому что как сказать такую вещь Амфее Парфеновне? Немушка, по-своему, глубоко была убеждена в одном, что немка околдовала старика каким-нибудь приворотным зельем, — впрочем, это было общее убеждение. Статочное ли дело, чтобы такой обстоятельный человек бросил все для какой-нибудь оголтелой немки?

Наташа бывала в Новом заводе теперь гораздо реже и мало видела Никона, что ее заставляло страдать молча и невыносимо, как умеют страдать одни женщины. Она не жаловалась, не плакала, не искала чьего-нибудь сочувствия, а точно наслаждалась своим горьким одиночеством. Новозаводскую попадью она возненавидела, как та ненавидела немку, — это было кровное чувство. По этой причине она стала реже бывать в Новом заводе. Каждая такая поездка ей дорого стоила, потому что она видела то, чего не видел и сам Никон: у истинной любви есть внутреннее зрение.

Раз только Наташа не выдержала. Она осталась как-то вдвоем с Никоном. Он, по

обыкновению, не обращал на нее никакого внимания.

— Вам тяжело, Никон Зотыч, — неожиданно проговорила она, прерывая тяжелую паузу.

— Почему вы так думаете, Наталья Федотовна?

Наташа засмеялась и кокетливо ответила:

— А ведь я все вижу... все! Напрасно вы скрываете... Со стороны-то оно всегда виднее...

— Интересно, что вы можете знать...

— А знаю, и весь тут сказ. Знаю и не скажу.

— Нет, скажите, — упрямо заметил Никон, — иначе не стоило и затевать разговор. Ну-с, что же вы знаете?

— Вам это очень хочется слышать?

Да.

— Извольте. Вы влюблены... в меня.

Наташа громко расхохоталась — до того, что у ней слезы выступили на глазах. Никон смотрел на нее и пожимал плечами: он ничего не понимал.

— Вам только совестно в этом признаться, — продолжала Наташа, довольная, что

могла высказать шуткой глодавшую ее мысль. — Наконец, вы знаете, что я вас не люблю. Это уж совсем неудобно...

— Какая вы странная, — заметил Никон после некоторого раздумья. — Разве такими вещами шутят?

— А вы думаете, что я шучу? Ах, вы... Нет, я говорю совершенно серьезно. Да... Очень серьезно. Я давно это заметила... Ха-ха!.. Ну, не притворяйтесь...

— Послушайте, Наталья Федотовна, я окончательно вас не понимаю. Что вы меня не любите, это очень естественно, но я...

— Что вы?

— Я... одним словом, вы ошибаетесь. Я уважаю вас, я считаю себя даже обязанным вам, но любовь — это совсем другое...

— Я тоже знаю, что такое любовь, — серьезно проговорила Наташа, опуская глаза. — И мне совсем не смешно...

Она вдруг замолчала. Никон чувствовал себя крайне неловко и не знал, что ему делать, а между тем он чувствовал, что нужно что-то сделать или сказать.

— Нет, вы странная... — пробормотал он,

чувствуя полное бессилие.

— Вы находите? Какой вы недогадливый, Никон Зотыч! Я шучу! А что я знаю, так это то, что вы любите Капитолину Егоровну... Да, любите и думаете, что этого никто не замечает.

— Ну-с, что же из этого следует? — ответил вопросом Никон, щуря свои близорукие глаза. — Полагаю, что я никому не обязан давать отчета в своих личных делах...

— Ах, боже мой, разве можно так разговаривать? — застонала Наташа и сейчас же опять засмеялась.

Она с чисто женскою ловкостью вырвала, наконец, у Никона роковое признание и точно обрадовалась. Да, он любит... С не меньшею ловкостью Наташа выведала] все подробности этой любви, хотя репертуар Никона по этой части оказался очень небогатым: он только смотрел на попадью, и больше ничего.

— Неправда! — уверяла Наташа. — Не может быть!.. Живете в одном доме, и нужно быть сумасшедшим, чтобы не сказать ни одного слова.

— Бесполезно...

— А может быть, она поймет вас?.. Вы не знаете женского сердца, Никон Зотыч: женщины часто притворяются, чтобы не выдать своих истинных чувств. Кажутся равнодушными, даже ненавидят, а все это один обман. Хотите, я сама переговорю за вас с попадьей?

— Да вы с ума сошли...

— А, испугались?.. Ну, как знаете, ваше дело.

Вся эта сцена закончилась неожиданными слезами Наташи, и Никон опять был поставлен в самое дурацкое положение, потому что ни в одной механике ничего не сказано, как следует поступать с плачущей женщиной. А Наташа рыдала и рыдала, потом смеялась и опять рыдала.

— Успокойтесь, Наталья Федотовна, — повторял Никон, наклонившись над ней.

Как он был близко к ней сейчас и вместе с тем как далек! У Наташи сердце разрывалось от горя, но она нашла в себе силы и проговорила:

— Это со мной бывает: сама не знаю, о чем плачу. Вспомнила, как сама любила ко-

гда-то... да... Вот и сделалось грустно.

Таким образом, Наташа сделалась поверенным любви Никона и хотя этим окольным путем желала быть ему близкой, чтобы говорить с ним, видеть его, чувствовать его вообще. Это было жалкое нищенство чувства, но и оно давало хоть какой-нибудь исход, а не мертвую пустоту, давившую Наташину душу. Он, Никон, нравился ей весь таким, каким был, даже вот с этим детским непониманием ее горя, ее любви, ее безумия. Милый, родной, дорогой...

Глава 10

Наташа опять зачастила на Новый завод, счастливая своею новою ролью поверенного. К попадье она удвоила свою нежность, хотя та и не поддавалась на эту приманку. Попадья вообще что-то задумала и ходила хмурая, как осенняя ночь. Если кто пользовался этой домашней неурядицей, так изобретатель Карпушка, который являлся в поповский дом, как свой человек. Он приходил каждый вечер к Леониду и просиживал с ним до полуночи. Хохлатый поп Евстигней, Леонид и Карпушка составляли оригинальную компанию, при-

чем говорил один Карпушка и говорил всегда только о себе.

— Родимые мои, каков я человек есть на белом свете? — повторял Карпушка, встряхивая головой. — Золотой человек — пряменько сказать. Цены мне нету, кабы не придавило тогда рюмкой Федота Якимыча... Да. Вот как он тогда меня придавил... Думал я награду получить, вольную, а он мне рюмку выносит. Это как? Могу я это чувствовать аль нет?.. Даже и весьма чувствую... А мне плевать!.. Эх, да что тут говорить: ущемила меня рюмка. Раньше-то я капли в рот не брал, а тут очухаться не могу от господской милости.

Леонид каждый вечер поил Карпушку водкой и сам пил, но водка на него действовала самым удручающим образом, не принося облегчения. Амалия Карловна обыкновенно запиралась в своей комнате и сидела там одна, раздумывая неизвестные никому думы. Когда она оставалась с мужем вдвоем, с глазу на глаз, время проходило в мучительном молчании. Леонид был только вежлив, предупредителен и старался совсем не смотреть на жену. «Хоть бы он убил меня скорее, — думала ча-

сто немка, — все же лучше этой каторги».

Домашний ад был переполнен невысказанных дум, сдержанных мук и взаимного глухого озлобления. Леонид в глазах жены являлся просто жалким человеком, с роковою ошибкою, несчастной судьбой. Разве она когда-нибудь думала о подобной жизни? Зачем он завез ее в эту трущобу? Зачем он, Леонид, сам такой?.. Если девочкой она еще могла обманывать себя, то женщина смотрела на все открытыми глазами. Ложное положение — вот источник всей беды. Яркая форма проявления старческой страсти Федота Якимыча, вся обстановка, в которой она происходила, и близившаяся развязка занимали немку больше всего, и она любила думать на эту тему. Пусть все мучатся и страдают, как и она. Это было мстительное и полное инстинкта разрушения чувство, на какое способна только женщина, потерявшая под ногами всякую почву.

— Все равно... — повторяла немка самой себе. — Судьба, а от судьбы не уйдешь!

Ненависть попадьи и холодное презрение Наташи она выносила с полным равнодуши-

ем и точно сама напрашивалась на какое-нибудь оскорбление. Последнею выходкой с ее стороны в этом направлении было то, что она уехала в Землянский завод в одном экипаже с Федотом Якимычем. Старик сначала смутился; когда немка заявила о своем желании ехать вместе с ним, а потом исполнил с отчаянною решимостью: э, будь что будет! Снявши голову, о волосах не плачут... Он шел вперед очертя голову и видел только одни серые ласковые глаза, глядевшие к нему в душу. Ничего ему не было жаль, никого не стыдно и совсем не страшно: будет что будет. Только бы не потерять ее, эту ласковую, как русалка, беляночку.

Попадья теряла голову и не знала, что ей делать, а между тем что-нибудь нужно было предпринять. Беда была на носу... Попытка посоветоваться с мужем или с Никоном закончилась полной неудачей. Оставалось одно — обратиться к Григорию Федотычу. Он — мужчина, он должен знать, как быть и что делать. Попадья собралась живой рукой и отправилась в господский дом. Григорий Федотыч, конечно, давно все знал, но сделал вид,

что в первый раз слышит эту историю. Обозленная попадья выложила ему всю подноготную.

— Амфея-то Парфеновна узнает, я же в ответе за всех буду, — жаловалась попадья, вытирая слезы. — Этакое дело случилось, а она, голубушка, сном дела не знает.

— Да, мамынька тово... — бормотал Григорий Федотыч, сохранивший в себе еще чувство детского страха к грозным родителям. — Пожалуй, оно и лучше, што мамынька-то ничего не знает. Всем достанется...

— Что же я-то буду делать, Григорий Федотыч?

— А уж это твое дело, Капитолина Егоровна. Раскинь своим бабьим умом, может, что-нибудь и придумаешь...

— Да ведь я к тебе посоветоваться пришла, Григорий Федотыч. Ведь ты — мужчина, должен же сказать мне...

— Ничего я не знаю: мое дело — сторона.

С тем попадья и ушла из господского дома. Что же это такое в самом-то деле? Ведь все равно не сегодня-завтра Амфея Парфеновна узнает все, и тогда расхлебывай чужую ка-

шу... Коли мужчины ничего не могут поделать, так надо ей действовать в свою безответную бабью голову. Сказано — сделано. Попадья склалась в один час и отправилась в Землянский завод одна.

Много передумала попадья, пока ехала в Землянский завод, да и было о чем подумать. Раза два, по женской своей слабости, она всплакнула, потому что впереди была гроза. Чем она грешнее других прочих, что в огонь головой должна лезть? А тут еще Никон глаз с нее не спускает... Тоже сокровище бог послал! И чего, подумаешь, человек бельма свои на нее выворачивает? У, взяла бы, кажется, всех на одно лыко да в воду... Чем ближе был Землянский завод, тем попадья чувствовала себя меньше, точно ребеночек малый. А вот и завод, раскинувшийся по течению горной речушки Землянки верст на пять. «Где остановиться, у Наташи?» — раздумывала попадья, соображая обстоятельства.

— Ступай в господский дом, — сказала она и сама испугалась собственной смелости: как раз еще на Федота Якимыча набежишь.

Сердце у попадьи совсем упало, когда ее

повозочка въехала прямо на двор грозного господского дома. Встретила ее немушка Пелагея и только покачала головой, когда попадья знаками заявила свое непременное желание видеть самое. На счастье, Федот Якимыч был в заводской конторе. Пока немушка бегала в горницы, попадья стояла на крыльце, как приведенная на лобное место. Ах, что-то будет... Когда немушка вернулась и поманила гостью наверх, у попадьи явилась отчаянная решимость. Семь бед — один ответ... Она храбро зашагала по узкой крашеной лесенке в светлицу, где Амфея Парфеновна и встретила ее строгим, испытующим взглядом.

— Здравствуй, дорогая гостьюшка, — раскольничьим распевом проговорила старуха, не приглашая гостью садиться. — С чем прилетела-то? Ну, говори скорее... Вижу, что живая вода не держится.

Попадья боком взглянула на немушку Пелагею и только переминалась с ноги на ногу.

— Ну? — властно повторила Амфея Парфеновна. — При ней можешь все говорить, да она и не слышит... Чего-нибудь, верно, Наташа набедокурила?

— Нет, тут дело не Наташей пахнет, — сказала попадья, несколько обозленная гордостью старухи.

Без обиняков она рассказала все, что сама знала про отношения Федота Якимыча к немке. Старуха выслушала ее молча, не прервав ни одного раза, точно дело шло о ком-то постороннем. Она только побледнела и строго опустила глаза. Эта неприступность опять сбила попадью, и последние слова она договорила, запинаясь и путаясь, точно сама была виновата во всем и хотела оправдаться.

— Теперь все? — тихо спросила Амфея Парфеновна, поднимая глаза на попадью.

— Все...

Старуха выпрямилась, сверкнула глазами и с расстановкой проговорила, точно отвешивая каждое слово, как дорогое лекарство:

— Так я, милая, не верю ни одному твоему слову... Да, не верю. Не может этого быть... да, не может. Напрасно ты себя только беспокоила.

Обратившись к немушке, она прибавила:

— Проводи ее да вперед на глаза ко мне не пускай. И худо мое, и хорошо мое, а другим до

меня дела нет...

Попадья вышла из светлицы, как оплеванная. У нее даже голова кружилась и ноги подкашивались. В довершение несчастья, спускаясь по лестнице, она столкнулась с самим Федотом Якимычем, который грузно поднимался наверх. Он оглядел попадью с ног до головы, точно видел ее в первый раз, и даже посторонился, давая дорогу. Попадья выскочила на улицу, как ошпаренная, и велела ехать сейчас же домой. А Федот Якимыч постоял на лестнице, покрутил головой и широко вздохнул, — он понял, зачем прилетала новозаводская попадья. Поднявшись наверх, он перевел дух, прежде чем отворить дверь в светлицу. Амфея Парфеновна встретила его на пороге и спросила, показывая глазами на лестницу, по которой ушла попадья:

— Правда?

Федот Якимыч даже зашатался на месте, но ответил:

— Правда, Феюшка...

Дверь светлицы сейчас же затворилась. Он слышал только, как Амфея Парфеновна затворилась изнутри на железный крюк. Неужели

все кончено? И так быстро... Прожили сорок лет душа в душу, а тут сразу оборвалось. Старику казалось, что под его ногами зашатался весь родительский дом, и он бессильно прислонился к стене. Что же это такое? Где он? Пахло ладаном, восковыми свечами, какими-то странными духами, какие были только у Амфеи Парфеновны.

— Феюша... Феюшка!

Ответа не последовало. Федот Якимыч закрыл лицо руками и горько заплакал. Все было кончено... Кругом стояла полутьма и мертвая тишина, а он рыдал, точно вот сам умер, — нет, хуже чем умер. Живого в землю закопали бы, и то, кажется, было бы легче.

Амфея Парфеновна слышала все, что делалось перед дверьми светлицы, и стояла неподвижно, как окаменелая. Она походила теперь на разбитое грозой дерево, которое стоит без вершины, с расщепленной сердцевиной и оборванной листвой. Да, ударил нежданный гром... Она была оскорблена не только как жена, как мать семейства, как хозяйка дома, но, главным образом, как представительница старинного рода Севастьяно-

вых. Федот Якимыч забыл, как она выходила из богатого дома за него, маленького заводского служащего, наперекор родительской воле, как потом переносила для него нужду и лишения, как поддерживала его в неудачах, как довела его до настоящего положения и как, наконец, ввела в свой родовой дом, в котором они сейчас жили. Севастьяновы искони были главными управляющими, и их дом всегда назывался господским. Когда-то большая семья выродилась, род пошел на перевод, и она осталась одна из этой фамилии, полная своей родовой гордости, властных преданий и сознания своего родового превосходства над остальной массой заводских служащих. Да, все это было, но в севастьяновском роду не было ни одного случая, чтобы муж позорил жену... Стояла Амфея Парфеновна и думала. Вот она, гордая девушка, в отцовском доме, к ней засылали сватов с разных сторон, но она полюбила маленького безродного служащего и пошла наперекор родительской воле.

— Попомни это, Амфея, — говорил старик отец, когда уже простил ее, — попомни меня, што счастье не ходит навстречу родитель-

ской воле... Захотела ты своей воли — пеняй на себя. У нас этого в роду не бывало: против всего рода ты одна пошла.

Через сорок лет Амфея Парфеновна припомнила эти роковые слова. Ведь и жизнь прошла, и она уже забыла про них, а они вон когда откликнулись. Девичья воля да своя гордость навстречу роду пошли, а теперь родто и сказался. Да, вот этот деревянный старинный дом казался старухе немым укором, а прожитая жизнь каким-то сном... И куда все девалось? Дунул ветер — и ничего не осталось. Недаром за год старинный родовой образ соловецких угодников Зосимы и Савватия, писанный на кипарисной доске, раскололся надвое... Это было знамение, а она в слепоте ничего не видела. Горе пришло в Севастьяновский род, позор и уничижение...

Три дня и три ночи молилась Амфея Парфеновна в своей светлице и никого не допускала к себе, даже немушку Пелагею. На четвертый она спустилась вниз, в горницы, бледная, важная, спокойная, и велела позвать Федота Якимыча. Он вошел в те же горницы, куда ходил молодым, потаенным женихом, и

остановился у порога.

— Федот Якимыч, спасибо тебе за привет, за ласку, за твою любовь, — с расстановкой заговорила старуха, не глядя на него. — А теперь нарушил ты родительские заветы, нарушил свои обещанные слова, нарушил родовой дом, и бог тебе судья, а я тебе больше не жена.

Она молча и гордо прошла мимо него, и он даже не посмел взглянуть на нее и стоял у порога, как это было сорок лет тому назад. Чья-то невидимая рука вычеркнула эти сорок лет из его жизни.

Глава 11

Ближайшим результатам экспедиции новозаводской попадьи в Землянский завод было то, что Амфея Парфеновна покинула навсегда родное пепелище. С ней вместе уехала немушка Пелагея. Гордая старуха раскольница сначала отправилась куда-то к родным, а потом, как было известно стороной, в скиты. Непосредственным следствием этого отъезда явилось то, что немка переехала в Землянский завод. Она не поселилась в господском доме прямо, а пока заняла отдельную кварти-

ру. Скандал разыгрался в полной мере, хотя открыто никто и ничего не смел говорить. Федот Якимыч для всех оставался прежней грозой. По отъезде жены он поскучал недели две, а потом сразу точно помолодел. Все приписывали это влиянию немки. Родные дети — и те не смели протестовать открыто, а ограничились тем, что перестали бывать у отца, что его страшно возмущало, хотя он этого и не высказывал.

— Все мое: худо и хорошо, — повторял он, — и дети не судьи родителям. С Амфеей Парфеновной меня бог рассудит...

В сущности, он побаивался детей, особенно резкой Наташи, и храбрился только для видимости. На него иногда накатывались минуты тяжелого раздумья, и тоска схватывала за сердце. Что он делает? К обыкновенным будничным мыслям и ходячей морали примешивался религиозный страх и сознание большой ответственности. Обыкновенно такое настроение захватывало старика по вечерам, и он старался не оставаться в пустом доме один, а уезжал к немке, где успокаивался. Да как было и не успокоиться, когда она умела

так заговаривать его стариковское сердце своими ласковыми бабьими словами; смехом и молодым весельем, точно солнце осветит.

После недавнего веселья в поповском доме в Новом заводе наступила мертвая тоска. Братья оставались на той же квартире и жили теперь в одной комнате. Попадья не раз покаялась за свою торопливость объявить все Амфее Парфеновне: она сыграла в руку немке... Даже хохлатый поп, вечно молчаливый, и тот сказал ей:

— Ну, попадья, дуру сваляла...

Леонид жил отщепенцем. День проводил на службе, а остальное время запирался в своей комнате. Единственным человеком, пользовавшимся его расположением, был Карпушка. Изобретатель прямо проходил в комнату к Леониду, требовал водки, разговаривал вслух сам с собой.

— Эх, жисть! — повторял он каждый раз. — Дуракам только на белом свете и жить, а умному человеку зарез... А все судьба, Леонид Зотыч. От своей судьбы, брат, не уйдешь... Нет, брат, от нее не скроешься: на дне морском сыщет. Тут, брат, шабаш!.. А ты, Карпуш-

ка, свою линию не теряй, потому как умный человек и могу соответствовать вполне. Да... Кто машину наладил в Землянском заводе? — Карпушка... Кто награду водкой получил? — Карпушка... Кто из кабака не выходит? — да все он же, Карпушка, — вот вся главная причина. Какое такое полное право Федот Якимыч имел губить живого человека?.. Эх, жисть проклятущая... Так я говорю, Леонид Зотыч? Правильно? Голубь ты мой сизокрылый, Карп Маркыч, брось ты водку, остепенись, погляди, как добрые люди на белом свете живут, — живут да радуются.

Карпушка пил водку, бормотал все слабее и кончал тем, что засыпал тут же на месте тяжелым пьяным сном. В угоду брату Никон переносил это безобразие и не обращал на Карпушку никакого внимания.

Никон остался прежним Никоном, так что попадья успела к нему привыкнуть и больше не боялась его. Собственно, он один и оставался живым человеком в доме. И каждое дело он делал по-своему, не как другие. Попадье нравилось больше всего то, что Никон понимал каждый ее шаг и по-своему ценил ее. И

веселье, и горе, и неприятности — все он видел, точно в книге читал душу попадьи. А главное, сам виду не подает, что знает, чего не знает.

«И мудреный же человек уродится, — часто думала попадья, приглядываясь к Никону. — Никак ты его не разберешь».

Прежде она боялась, что Никон будет приставать к ней, а теперь и этого нет. Никон даже перестал смотреть на попадью. Когда он скучал, попадья умела его утешить, как никто: возьмет гитару, да и споет. Федот Якимыч, бывало, так гоголем и заходит, если песня по нраву придется, а Никон только трубочку посасывает.

Раз летом все отправились в поле. Поп с попадьей, Никон, Леонид с Карпушкой — все поехали. Верстах в трех от завода был казенный поповский покос с медовым ключиком и рыбною горною речкою. Поп захватил с собой бредень, чтобы устроить уху из живых харюзов. День был отличный, светлый, жаркий. А в лесу стояла настоящая благодать. Карпушка первым делом соорудил костер, чтобы дымом отогнать лесной овод. Попадья занялась

устройством соответствующей закуски и выпивки. Леонид лежал на траве, закинув руки за голову. Когда поп с Карпушкой скрылись в кустах с бреднем, попадья совсем развеселилась и, забыв всякую осторожность, проговорила:

— Никон Зотыч, пойдемте землянику брать.

— Что же, пойдемте, — равнодушно согласился Никон.

Леонид остался у костра, а Никон с попадьей пошли в лес.

Она сейчас же спохватилась, что как будто неладно сделала, но из непонятного упрямства не хотела вернуться. Да и было очень смешно, как близорукий Никон ползал на коленях, отыскивая в траве спелую ягоду. Попадья так и заливалась неудержимым хохотом, помыкая своим спутником, точно ручным медведем. Она была одета в летнее ситцевое платье и в простой платочек на голове. От жары лицо попадьи раскраснелось, и она сняла даже платок.

— Вон там ягоды, — указывала она ползавшему Никону. — Эх, ничего вы не видите у се-

бя под носом. Слепой курице все — пшеница.

Расшалившись, попадья наклонилась к Никону, показывая ягоды, но в это время ее схватили две сильных руки, так что она не успела даже вскрикнуть.

— Никон, ради бога, отпусти... — шептала попадья, изнемогая в неравной борьбе. — Голубчик... Никон...

Прежнего Никона не было, — он потерял свою голову, а попадья свои песни и беззаботное веселье. Когда поп с Карпушкой вернулись с добычи, попадья и Никон сидели у костра и смотрели в разные стороны. Лов был удачный, и хохлатый поп торжествовал, Леонид по-прежнему лежал, уткнув лицо в траву, точно раздавленный.

— Эх, жисть! — ругался Карпушка, недовольный общим невеселым настроением. — Не ко времю мы с тобой, поп, харюзов-то наловили. Омморошные какие-то...

С горя Карпушка напился в лоск, так что его увезли домой пластом.

На другой день попадья не показывалась совсем: она лежала на своей двуспальной кровати и горько плакала. На третий день

она вышла, когда Никон был один, и сказала:

— Никон Зотыч, грешно вам... да, грешно. Што вы со мною сделали? Я была честная жена попу, а теперь как я ему в глаза-то буду глядеть? Грешно вам, Никон Зотыч.

— Я вас люблю, Капитолина Егоровна, — ответил Никон. — С первого раза полюбил.

— А я не люблю вас.

Никон выпрямился, взглянул на попадью испуганными глазами и пробормотал:

— Зачем же вы... мне казалось...

— Нет, не люблю! — повторила настойчивая попадья. — Вот пойду и повинюсь во всем попу, а вы уезжайте, куда глаза глядят. Мой грех, мой и ответ...

— Куда же я пойду? — беспомощно спросил Никон.

— Ах, господи! — взмолилась попадья, ломая руки. — Да уйдите вы от меня: тошно мне глядеть.

Никон помолчал, пожевал губами и спросил в последний раз:

— И только, Капитолина Егоровна?

— И только, Никон Зотыч.

Он круто повернулся, нахлобучил шапку

на глаза и вышел. Больше Капитолина Егоровна так его и не видала. Как на грех вечером пригнала Наташа и по лицу попадьи сразу догадалась, что случилось что-то важное. Она повела дело политично и не заговорила сразу о главном, а целый вечер болтала разные пустяки. Только уже в конце она спросила:

— А где Никон Зотыч?

— Кто его знает, куда он ушел: взял шапку и пошел, — ответила попадья, пряча виновато глаза, — меня он не спрашивается... Я ему сегодня от квартиры отказала. Надоели мне эти басурманы хуже горькой редьки.

Наташа только сжала губы, как делала мамынька Амфея Парфеновна в трудных случаях. За последнее время она сильно изменилась — похудела, осунулась, присмирела. Очень уж тошно ей жилось: дома — на свет белый не смотрела бы, а приехала в Новый завод — того хуже. Ни свету, ни радости, когда бунтует каждая жилка и молодое сердце обливается горячею кровью.

А Никон ушел на фабрику и там ходил из корпуса в другой. Работы по перестройке и ре-

монту приходили к концу, и он осмотрел все, как делал каждый день. Только обедать он домой не пошел, а закусил тут же, в меховом корпусе, вместе с рабочими. К вечеру и работа вся была кончена, а Никон все не уходил из фабрики. Он ушел в кричный корпус, присел на лавочку к уставщику и смотрел, как работают новозаводские мастера, вытягивая железные полосы. А работали новозаводские мастера ловко. Кричное производство было поставлено искони, как построена фабрика. Никон сидел и смотрел на ярко пылавшие горна, на добела накаленные полосы железа, на суетившихся рабочих, а в голове стучали свои молота, выковывая одну роковую мысль:

«Не люблю, не люблю, не люблю!»

Огнем горело сердце Никона, и чувствовал он, как сделался самому себе чужим человеком.

Из кричного корпуса Никон несколько раз уходил в меховой, — придет, остановится против мехов и смотрит, как машина набирает с подавленным шипением воздух. Два громадных цилиндра, положенных горизонтально,

работали отлично. Поршень, приводимый в движение водяным колесом, вдвигался и выдвигался с эластическою легкостью; заслонки раскрывались и закрывались без малейшего шума, хотя от этой работы дрожали стены нового корпуса. Все было пригнано с математическою точностью, и Никон любовался новою машиной глазом знатока. Мальчик-машинист вертелся около него с паклей в руках, ожидая приказаний.

— Ты что тут суешься? — спросил Никон, заметив его, наконец.

— А так, Никон Зотыч... Я при машине. Машинист вышел, так я за него.

— Молодец!

В это время в меховой корпус, пошатываясь, ворвался Карпушка. Он еле держался на ногах.

Никон Зотыч... родимый... она там, — бормотал Карлушка, указывая рукою на плотину. — Она ждет.

Никон весь вздрогнул и дикими глазами посмотрел на пьяного Карпушку.

— Кто она? — тихо спросил он, чувствуя, как у него сводит губы. —.

— Да все она же, Наталья Федотовна... Наказала вас вызвать туды, на плотину. Словечко, грит, надо сказать.

— А... хорошо, — протянул Никон, щупая свою голову. — Скажи, что я сейчас.

— Так и сказать, Никон Зотыч?

— Так и скажи.

— Так я тово...

— Убирайся, болван!

Карпушку вынесло из мехового корпуса точно ветром.

Пока он расслабленною, пьяною походкой переходил фабричный двор и поднимался по крутой деревянной лестнице на плотину, где его ждала Наташа, Никон успел еще раз пережить всю свою неудачную жизнь. Да, он все пережил — и свои гордые мечты, и окружавшую его тьму, и пустоту, наполнявшую его душу. Потом он выпрямился, застегнул на все пуговицы рабочую куртку и выслал мальчика-машиниста в слесарную. Когда мальчик вернулся, то увидел ужасную картину: Никон на коленях стоял у мехового цилиндра, а голова была раздавлена работавшим поршнем.

Как это случилось — осталось неизвест-

ным. Никон мог попасть головой в цилиндр нечаянно, поправляя какую-нибудь гайку, а могло быть и не так... Знали о последнем только новозаводская попадья да Наташа — и больше никто.

Глава 12

Прошло три года. На заводах все шло по-старому, за исключением того, что вместо Никона заводским механиком поступил рыжий англичанин Брукс. Федот Якимыч царил над всеми и всем по-прежнему, хотя заметно опустился и начал по временам забываться, — последнее было замечено верным рабом Мишкой. Амфея Парфеновна проживала где-то в скитах, и к ней ездила одна Наташа. Дети примирились с Федотом Якимычем и время от времени навещали его. Частым гостем в господском доме теперь был мистер Брукс, напоминавший во многом Никона: такой же гордый, упрямый и умный. Старик Федот Якимыч полюбил его, хотя мог объясняться с ним только при помощи Амалии Карловны, — англичанин говорил невозможным ломаным языком. Теперь немка свободно являлась в господский дом, и мало-помалу все к этому

привыкли, так что казак Мишка называл ее «наша барыня». По вечерам в господском доме шла игра в преферанс, обыкновенно составляли партию сам хозяин, немка и мистер Брукс. Когда игра затягивалась за полночь, мистер Брукс провожал немку до ее квартиры.

Наташа жила в своем купеческом доме, но сделалась неузнаваемой — похудела, осунулась, постарела. Смерть Никона произвела на нее потрясающее впечатление и унесла с собой все Наташино веселье, заразительный смех и самую молодость. Она заметно стала чуждаться людей и сделалась богомольной, как мать. В характере Наташи проявились черты родовой гордости и печальной раскольничьей религиозности. Внешним миром она перестала интересоваться и как-то вся ушла в себя, — глаза смотрели бесстрастно, губы складывались строго, и в каждом движении чувствовался прежде времени отживший человек. Даже к пьянице мужу Наташа стала относиться терпимее, как умирающий человек, который прощает даже своего самого злого врага. Это умирающее спокойствие

Наташи время от времени нарушалось только приезжавшей из Нового завода попадьей, привозившей какие-нибудь новости, — попадья знала решительно все, что делалось на заводах, и сообщала Наташе последние землянские новости. Как-то в великий пост она приехала в необычное время и заявилась к Наташе с таинственным видом.

— Ну, что скажешь? — спрашивала Наташа без предисловий.

— Ох, плохо, моя голубушка! Уж не умею, как и сказать... Попритчилось что-то с Леонидом Зотычем: вот уж третья неделя пошла, как молчит... На службу не ходит, а лежит у себя в каморке и молчит...

— Может, рассердился на кого-нибудь.

— Нет, ровно бы не на кого ему сердиться... Говорю: попритчилось. И с Карпушкой ничего не говорит... Прежде-то хоть с ним словечком перемолвится, а теперь и этого не стало. Я своего попа подсылала, да от него какой толк?.. Тошно смотреть-то, да и страшно в другой раз.

— Чего страшно-то?

— А кто его знает, что у него на уме... Че-

го-нибудь думает же: молчит-молчит, да как бросится, не ровен час... Уж только и квартирантов мне бог послал: как есть вся смаялась.

Попадья присела на стул и даже всплакнула, припомнив нанесенную ей Никоном обиду. Наташа поняла это движение, вспыхнула и как-то брезгливо отвернулась от старой приятельницы.

Это известие точно на ноги поставило Наташу. Она сейчас же отправилась к отцу разузнавать, как и что, — в конторе должны были знать все из ордеров Григория Федотыча.

— Дурит Левонид, и больше ничего, — равнодушно объяснил Федот Якимыч, стараясь что-то припомнить. — Как будто Григорий доносил в контору, а, между прочим, не знаю.

Наташа опять вспыхнула и резко проговорила:

— Тятенька, как вам не совестно? От кого Леонид-то Зотыч страдает?

— Ты... ты... Да как ты смеешь отцу такие речи говорить?

— А скажу, и все тут... Хоть бы вольную ему дали, Леониду, а то ведь он измучился весь. Легкое место сказать...

Федот Якимыч вспылил, как давно с ним не бывало: затопал ногами, закричал и выгнал Наташу вон. Она так и ушла, не простившись с отцом, ушла, полная решимости и жалости к несчастному Леониду, в котором продолжала: любить тень погибшего Никона. Не откладывая дела в долгий ящик, Наташа вместе с попадьей отправилась на Новый завод.

Леонид действительно лежал в своей комнате и не ответил Наташе ни одного слова, как ничего не говорил и с другими. Наташа посоветовалась с братом Григорием Федотычем и решила увезти Леонида в Землянский завод, чтобы там полечил его свой заводский доктор. По наружности Леонид был неузнаваем: похудел, побледнел, оброс весь волосами. Его отправили в сопровождении Карпушки, а Наташа поехала вслед за ними.

— Ну, слава тебе, господи! — взмолилась попадья, когда последний квартирант оставил поповский дом. — Теперь, поп, уж шабаш квартирантов держать: озолоти меня всю — не возьму.

Покаялась попадья своему хохлатому попу или не покаялась, так и осталось неизвест-

ным, только поп молчал по-прежнему.

Наташа привезла Леонида прямо к себе в дом. Свободных комнат было достаточно, а муж ничего не мог сказать, — что же, пусть его живет. Когда свои лавочники начинали вышучивать, Недошивин отвечал одно и то же:

— Особенная у меня жена... Не чета вашим-то бабам, чтобы про нее разные слова говорить. Да... У ней все по-своему: в мамыньку родимую характером-то издалась.

Мать Гордеевых была еще жива и приплелась в недошивинский дом, чтобы своими старыми глазами посмотреть па обрушившуюся новую беду. Она не плакала, не жаловалась, а только удивлялась, — ее захватило уже старческое детство. У Наташи изболелось сердце при виде этих несчастных, но она ушла вся в хлопоты: нужно было устроить Леонида, пригреть и утешить старуху, пригласить доктора и т. д. Жизнь точно вернулась к ней: нужна же и она, Наташа, нужна не себе, а вот чужим людям. А как надрывалось ее женское исстрадавшееся сердце — знали только лики потемневших старинных

образов.

Приглашенный для совета заводский врач внимательно осмотрел больного, выслушал его, выстукал и только покачал головой.

— Дело безнадежное, — объявил он Наташе, — общий медленный паралич.

Наташа так и повалилась, как подкошенная. Она не горевала так, когда умер Никон, а теперь обрывалась последняя живая ниточка, которая незримо привязывала ее к тени прошлого. Ведь это ужасно, — живой мертвец!.. В следующую минуту Наташа усомнилась в докторском определении и сама принялась лечить больного разными снадобьями от своих раскольничьих старух-лекарок. Ей помогал один Карпушка, неотлучно состоявший при больном. Изобретатель-самоучка сделался своим человеком в недошивинском доме и пил теперь водку вместе с хозяином. Последний даже рад был компаньону и, хлопая его по плечу, говорил:

— Да ты, Карпушка, целая фигура, черт тебя возьми! Вон как водку-то заливаешь...

— От ума я пью, Федор Иваныч. Другие-прочие от глупости, а я от ума.

Целые дни Наташа просиживала над своим больным, точно птица над выпавшим из гнезда и разбившимся птенцом. Ей иногда казалось, что в этом безжизненном лице являлась слабая тень мысли и в глазах искрится сознание. Но эти редкие светлые промежутки сейчас же заслонялись темною ночью бессознательного состояния. Леонид никого не узнавал и ни с кем не говорил. Так медленно тянулся один день за другим! Так дни тянутся только в тюрьме да у постели больного. Наташа все-таки смутно надеялась на что-то: неужели ее труды и заботы должны были пропасть даром, как пропала и вся ее жизнь? Ей в первый раз пришла в голову мысль, что ведь это несправедливо... Да, несправедливо. А ведь все могло бы быть иначе... Сидела Наташа и раздумывала свои одинокие думы, вся охваченная неудовлетворенным желанием жизни. В Леониде для нее умирало что-то такое бесконечно родное, точно это была она, Наташа. Она и по ночам приходила проведать больного и смутно старалась в этом безжизненном лице найти дорогие ее сердцу черты... Иногда ей казалось, что она узнает в

нем другое лицо, и смертный страх охватывал Наташину душу. Господи, сколько ей хотелось сказать вот этому лицу, выплакать свое горе, просто потужить и погоревать, чтобы хоть на минутку отлегло на сердце.

Раз ночью, когда Наташа таким образом сидела в комнате Леонида, в дверях неслышными шагами появилась темная высокая фигура и остановилась. Она инстинктивно оглянулась и оцепенела от ужаса: это была сама Амфея Парфеновна в темном скитском одеянии. От ужаса Наташа не могла в первую минуту выговорить ни одного слова.

— Мамынька... родная... да ты ли это?

— Я, милушка... Не бойся, родная.

— Да зачем ты здесь, мамынька, в такую пору?

— Сердце — вещун, доченька... Нужно, вот и приехала проведать. С ума ты у меня не шла... дошли твои слезы, горюша, до материнского сердца. Преступила свой скитский обет и приехала...

До света мать и дочь сидели вместе и вместе плакали мирскими грешными слезами. Все рассказала Наташа матери, ничего не ута-

ила и билась у нее в руках, как подстреленная птица. Грозная была женщина Амфея Парфеновна — свое собственное горе перенесла без слезинки, а тут не стерпела: за Наташу плакала, за Наташину хорошую душу. Когда рассвело, старуха спохватилась и сразу сделалась неприступною и гордою.

— Будет реветь, — оговорила она вздрагивавшую от подавленных рыданий Наташу. — Не к тому дело идет.

— А к чему, мамынька?

— Сама я не знаю...

Так и замолчала суровая скитница, — она точно жалела свою прорвавшуюся женскую жалость и только хмурилась. Сердце Наташи опять сжалось предчувствием новой беды: ох, неспроста мамынька из скитов наехала, — быть неминучей беде.

А беда была не за горами.

Федот Якимыч несколько дней все задумывался. Ссора с Наташей мучила его. В самом деле, жену свою выгнал из дому, другую жену развел с мужем, а тут еще Леониду попритчилось что-то. Стороной он слышал, что Леонид — не жилец на белом свете, и для очище-

ния своей совести велел в конторе написать ему вольную. С этою роковою бумагой в недошивинский дом был отправлен верный раб Мишка. Его встретила сама Наташа.

— Вот, Федот Якимыч бумагу прислали... — бормотал Мишка, вытягиваясь в струнку.

Наташа схватила вольную и птицей полетела с ней к больному. Она растолкала его и со слезами на глазах громко читала роковое освобождение. Леонид смотрел на нее и силился понять.

— Воля, Леонид Зотыч... — повторяла Наташа, задыхаясь от слез, — воля... Неужели вы ничего не понимаете?

Ее искреннее горе передалось и ему. Он посмотрел на нее совсем разумными глазами, вздохнул и, повертываясь к стене лицом, проговорил всего одно слово:

— Поздно...

Леонида хоронили через несколько дней. В день похорон внезапно умер Федот Якимыч: он застал мистера Брукса в объятиях немки, пошатнулся, захрипел и без слова, бездыханный, повалился на пол. Амфея Парфеновна недаром наехала из скитов: она по-христиан-

ски во всем простила мужа, а Наташу увезла с собой в скиты.

ТРИ КОНЦА

(Роман)

В романе «Три конца» писатель создал яркую картину заводской жизни, как она сложилась на Урале в первые пятнадцать лет после отмены крепостного права.

Часть I

Глава 1

В кухне господского дома Егор сидел уже давно и терпеливо ждал, когда проснется приказчик. Толстая и румяная стряпка Домнушка, гремевшая у печи ухватами, время от времени взглядывала в его сторону и думала про себя: «Настоящий медведь... Ишь как шарами-то[367] ворочает!» Она вспомнила, что сегодня среда — постный день, а Егор — кержак[368] На залавке между тем лежала приготовленная для щей говядина; кучер Семка в углу на лавке, подложив под деревянное корыто свои рукавицы, рубил говядину для котлет; на окне в тарелке стояло коровье масло и

кринка молока, — одним словом, Домнушка почувствовала себя кругом виноватою. И в самом-то деле, эти приказчики всегда нехристями живут, да и других на грех наводят. В открытое окно кухни, выходившее во двор, наносило табачным дымом: это караульщик Антип сидел на завалинке с своей трубкой и дремал. Чтобы сорвать на ком-нибудь собственное неловкое положение, Домнушка высунулась в окошко и закричала на старика:

— Чтой-то, Антип, задушил ты нас своей поганой трубкой!.. Шел бы в караушку али в машинную: там все табашники!

— Ну, ну... будет, кума, перестань... — ворчал антип, насасывая трубочку.

— Да я кому говорю, старый черт? — озлилась Домнушка, всей полною грудью вылезая из окна, так что где-то треснул сарафан или рубашка. — Вот ужо встанет Петр Елисеич, так я ему сейчас побегу жаловаться...

— Ступай, кума, ступай... На свой жир сперва пожалуйся, корова колмогорская!

Егор тихонько отплюнулся в уголок, — очень уж ему показалось все скверно, точно самый воздух был пропитан грехом и всяче-

ским соблазном. Про Домнушку по заводу ходила нехорошая слава: бабенка путалась со всею господскою конюшней. Все они, мочеганки,[369] на одну стать. Рубивший говядину Семка возмущал Егора еще больше, чем Домнушка: истрепался в кучерах, а еще каких отца-матери сын... На легкую работу польстился, — ну, и руби всякую погань: Петр-то Елисеич и зайчину, как сказывают, потреблял. Раскольник с унынием обвел всю кухню глазами и остановился на лестнице, которая вела из кухни во второй этаж, прямо в столовую. На лестнице, ухватившись одною рукой за потолочину, а другою за балясник перил, стояла девочка лет семи, в розовом ситцевом платьице, и улыбающимися, большим серыми глазами смотрела на него, Егора. Он сразу узнал в ней дочь Петра Елисеича, хотя раньше никогда ее и не видал.

— Домнушка, где Катря? — спрашивала девочка, косясь на смешного мужика.

— А ушла... — нехотя ответила стряпка, с особенным азартом накидываясь на работу, чтобы не упустить топившуюся печь.

— Куда ушла? — не отставала девочка с

детскою навязчивостью.

— А ушла... Не приставайте, барышня, — без вас тошнехонько!

Домнушка знала, что Катря в сарайной и точит там лясы с казачком Тишкой, — каждое утро так-то с жиру бесятся... И нашла с кем время терять: Тишке никак пятнадцатый год только в доходе. Глупая эта Катря, а тут еще барышня пристает: куда ушла... Вон и Семка скалит зубы: тоже на Катрю заглядывается, пес, да только опасится. У Домнушки в голове зашевелилось много своих бабьих расчетов, и она машинально совала приготовленную говядину по горшкам, вытаскивала чугун с кипятком и вообще управлялась за четверых.

— Куда ушла Катря? — капризно спрашивала девочка, топая ножкой.

В Егоре девочка узнала кержака: и по покрою кафтана, и по волосам, гладко подстриженным до бровей, от одного уха до другого, и по особому складу всего лица, — такое сердитое и скуластое лицо, с узкими темными глазками и окладистою бородой, скатавшиеся пряди которой были запрятаны под ворот рубахи из домашней пестрядины. Наверное,

этот кержак ждет, когда проснется папа, а папа только напьется чаю и сейчас пойдет в завод.

— Панночка, тату проснувсь, — окликнула девочку Катря, наклоняясь над западней в кухню. — Тату до вас приходив у вашу комнату, а панночки нэма.

— Катря, скажи Петру Елисеичу, что его дожидает Егор из Самосадки! — крикнула Домнушка вслед убегавшей девушке. — Очень, говорит, надо повидать... давно дожидает!

«Проклятущие мочеганки! — думал Егор, не могший равнодушно слышать мочеганской речи. — Нашли тоже «пана».»

Катря скоро вернулась и, сбежав по лестнице в кухню, задыхавшимся голосом объявила:

— Пан у кабинети... просив вас до себе.

— Ступай за ней наверх, — коротко объявила Домнушка, довольная, что закоснелый кержак, наконец, выйдет из кухни и она может всласть наругаться с «шаропучим» Семкой.

Катре было лет семнадцать. Красивое смуглое лицо так и смеялось из-под кумачного

платка, кокетливо надвинутого на лоб. Она посторонилась, чтобы дать Егору дорогу, и с недоумением посмотрела ему вслед своими бархатными глазами, — «кержак, а пан велел прямо в кабинет провести».

— Родной брат будет Петру-то Елисеичу... — шепнула на ухо Катре слабая на язык Домнушка. — Лет, поди, с десять не видались, а теперь вот пришел. Насчет воли допытаться пришел, — прибавила она, оглядываясь. — Эти долгоспинники хитрящие... Ничего спроста у них не делается. Настоящие выворотни!

Из этих слов Катря поняла только одно, что этот кержак родной брат Петру Елисеичу, и поэтому стояла посредине кухни с раскрытым от удивления ртом. Апрельское солнце ласково заглядывало в кухню, разбегалось игравшими зайчиками по выбеленным стенам и заставляло гореть, как жар, медную посуду, разложенную на двух полках над кухонным залавком. В открытое окно можно было разглядеть часть широкого двора, выстланного деревянными половицами, привязанную к столбу гнедую лошадь и лысую голову Антипа, который давно дремал на своей завалинке

вместе с лохматою собакой Султаном. Осторожно скрипнувшая дверь пропустила кудрявую голову Тишки. Он посмотрел лукавыми темными глазами на кучера Семку, на Домнушку и хотел благоразумно скрыться.

— Эй ты, выворотень, поди-ка сюды... ну, вылезай! — кричала Домнушка, становясь в боевую позицию. — Умеешь по сарайным шляться... а?.. Нету стыда-то, да и ты, Катря, хороша.

— Што подсарайная... — ворчал Тишка, стараясь принять равнодушный вид. — Петр Елисеич наказал... Потому гостей из Мурмоса ждем. Вот тебе и подсарайная!

— Нет, стыд-то у тебя где, змей?! — азартно наступала на него Домнушка и даже замахнулась деревянною скалкой. — Разе у меня глаз нет, выворотень проклятый?.. Еще материно молоко на губах не обсохло, а он девке проходу не дает...

Тишка, красивый парень, в смазных сапогах со скрипом, нерешительно переминался с ноги на ногу и смотрел исподлобья на ухмылявшегося Семку. Он решительно не испытывал никакого раскаяния и с удовольствием

смазал бы Домнушку прямо по толстому рылу, если бы не Семка. Катря стояла посредине кухни с опущенными глазами и перебирала подол своего запона. Ей было совестно и обидно, что Тишка постоянно ругается со стряпкой: Домнушка хоть и гулящая бабенка, а все-таки добрая. Первая пожалеет и первая научит, чуть что приключись.

— Дай поесть, — неожиданно проговорил Тишка, опускаясь на лавку. — С утра еще маковой росинки во рту не бывало, Домнушка.

— Ишь какой ласковый нашелся, — подзуживал Семка, заглядываясь на Катрю. — Домна, дай ему по шее, вот и будет закуска.

Кормить всю дворню было слабостью Домнушки, особенно когда с ней обращались ласково. Погрозив Тишке кулаком, она сейчас же полезла в залавок, где в чашке стояла накрошенная капуста с луком и квасом.

— Ступай наверх, нечего тебе здесь делать... — толкнула она по пути зазевавшуюся Катрю. — Да и Семка глаза проглядел на тебя.

Глава 2

Катря стрелой поднялась наверх. В столовой сидела одна Нюрочка, — девочка пила

свою утреннюю порцию молока, набивая рот крошками вчерашних сухарей. Она взглянула на горничную и показала головой на кабинет, где теперь сидел смешной мужик.

— Грешно божий дар сорить, — строго проговорила Катря, указывая на разбросанные по скатерти крошки хлеба.

Столовая помещалась между кабинетом и спальней Нюрочки. У печи-голландки со старинною лежанкой почикивали на стене старинные часы. Вся комната была выкрашена серою краской, а потолок выбелен; на полу лежала дорожка. Буфет, стеклянный шкаф с разною посудой, дюжина березовых желтых стульев и две полуведерных бутылки с наливками составляли всю обстановку приказчичьей столовой. Мы сказали, что Нюрочка была одна, потому что сидевший тут же за столом седой господин не шел в счет, как часы на стене или мебель. Он был в халате и сосредоточенно курил длинную трубку. Давно небритое лицо обросло седою щетиной, потухшие темные глаза смотрели неподвижно в одну точку, и вся фигура имела такой убитый, подавленный вид, точно старик что-то забыл

и не мог припомнить. Время от времени он подымал худую, жилистую руку и тер ею свой лоб.

— Сидор Карпыч, хотите еще чаю? — спрашивала девочка, лукаво посматривая на своего молчаливого соседа.

— А давайте жь, колы есть, — мягким хохлацким выговором ответил старик, исчезая в клубах табачного дыма. — Пожалуй, выпью.

— Пан пил чай, — заметила Катря, прибирая посуду на столе. — Пан не хоче чаю. Який пану чай, колы вин напивсь?

— Пожалуй, пил, — соглашался старик равнодушно. — Пожалуй, не хочу.

Из столовой маленькая дверка вела в коридор, который соединял переднюю с кабинетом и комнатой для приезжих гостей. Теперь дверь в кабинет была приперта и слышались только мерные тяжелые шаги. Кержак Егор сидел в кабинете у письменного стола и сосредоточенно молчал. Кабинет двумя светлыми и большими окнами выходил на двор. Клеенчатая широкая кушетка у внутренней стены заменяла кровать. Во всю ширину другой внутренней стены тянулся другой стол из

простых сосновых досок, заваленный планами, чертежами, образцами руд и чугуна, целою коллекцией склянок с разноцветными жидкостями и какими-то мудреными приборами для химических опытов. По обе стороны стола помещались две массивные этажерки, плотно набитые книгами; большой шкаф с книгами стоял между печью и входною дверью. Над письменным столом на стене висел литографированный вид Парижа.

— Так чего же вы хотите от меня? — спрашивал Петр Елисеич, останавливаясь перед Егором.

— Матушка послала... Поди, говорит, к брату и спроси все. Так и наказывала, потому как, говорит, своя кровь, хоть и не видались лет с десять...

— Да я же тебе говорю, что ничего не знаю, как и все другие. Никто ничего не знает, а потом видно будет.

— Матушка наказывала... Своя кровь, говорит, а мне все равно, родимый мой. Не моя причина... Известно, темные мы люди, прямо сказать: от пня народ. Ну, матушка и наказала: поди к брату и спроси...

Хозяин сделал нетерпеливое движение своею волосатою рукой и даже поправил ворот крахмальной сорочки, точно она его душила. Среднего роста, сутуловатый, с широкою впалою грудью и совершенно седою головой, этот Петр Елисеич совсем не походил на брата. Гладко выбритое лицо и завивавшиеся на висках волосы придавали ему скорее вид старого немца-аптекаря. Неопределенного цвета глаза смотрели из-за больших, сильно увеличивавших очков в золотой оправе с застенчивою недоверчивостью, исчезавшею при первой улыбке. Привычка нюхать табак сказывалась в том, что старик никогда не выпускал из левой руки шелкового носового платка и в минуты волнения постоянно размахивал им, точно флагом, как было и сейчас. Черный суконный сюртук старинного покроя сидел на нем мешковато. Такие сюртуки носили еще в тридцатых годах: с широким воротником и длинными узкими рукавами, наползавшими на кисти рук. Бархатный пестрый жилет и вычурная золотая цепочка дополняли костюм.

— Я ничего не знаю, — повторял Петр Ели-

сеич, размахивая платком.

Егор встряхнул своими по-кержацки подстриженными волосами и неожиданно проговорил:

— А как же Мосей сказывал, што везде уж воля прошла?.. А у вас, говорит, управители да приказчики всё скроют. Так прямо и говорит Мосей-то, тоже ведь он родной наш брат, одна кровь.

— Да где он теперь, Мосей-то?

— У нас в Самосадке гостит... Вторую неделю околачивается и все рассказывает, потому грамотный человек.

— Отчего же ты мне прямо не сказал, что у вас Мосей смутьянит? — накинулся Петр Елисеич и даже покраснел. — Толкуешь-толкуешь тут, а о главном молчишь... Удивительные, право, люди: все с подходцем нужно сделать, выведать, перехитрить. И совершенно напрасно... Что вам говорил Мосей про волю?

— Все говорил... Как по крестьянам она прошла: молебны служили, попы по церквам манифест читали. Потом по городам воля разошлась и на заводах, окромя наших... Мосей-то говорит, што большая может выйти

ошибка, ежели время упустить. Спрячут, говорит, приказчики вашу волю — и конец тому делу.

— Он врет, а вы слушаете!.. Как же можно верить всякому вздору?.. Мосей, может, спьяна болтал?

— Это точно, родимый мой... Есть грех: зашибает. Ну, а пристанские за него, значит, за брата Мосея, и всё водкой его накачивают.

— Ты и скажи своим пристанским, что волю никто не спрячет и в свое время объявят, как и в других местах. Вот приедет главный управляющий Лука Назарыч, приедет исправник и объявят... В Мурмосе уж все было и у нас будет, а брат Мосей врет, чтобы его больше водкой поили. Волю объявят, а как и что будет — никто сейчас не знает. Приказчикам обманывать народ тоже не из чего: сами крепостные.

— Оно, конечно, родимый мой... И матушка говорит то же самое.

— А зачем Мосея слушаете?

— Да уж так... Большое сумление на всех, — ну и слушают всякого. Главная причина, темные мы люди, народ все от пня...

— Матушка здорова? — спрашивал Петр Елисеич, чтобы переменить неприятный для него разговор.

— Ничего, слава богу... Ногами все скудается, да поясницу к ненастью ломит. И то оказать: старо уж место. Наказывала больно кланяться тебе... Говорит: хоть он и табашник и бритоус, а все-таки кланяйся. Моя, говорит, кровь, обо всех матерьнее сердце болит.

— Кланяйся и ты старухе... Как-нибудь заеду, давно не бывал у вас, на Самосадке-то... Дядья как поживают?

— Всё по-старому, родимый мой... По лесу больше промышляют, — по родителям, значит, пошли.

Скрипнувшая дверь заставила обоих оглянуться. На пороге стояла Нюрочка, такая свеженькая и чистенькая, как вылетевшая из гнезда птичка.

— Папа, там запасчик пришел к тебе.

— Ну, пусть подождет, Нюрочка. А вот идика сюда... Это твой дядя, Егор Елисеич. Поцелуй его.

Девочка сделала несколько шагов вперед и остановилась в нерешительности. Егор не ше-

велился с места и угрюмо смотрел то на заплетенные в две косы русые волосы девочки, то на выставлявшиеся из-под платья белые оборочки кальсон.

— Подходи, не бойся, — подталкивал ее осторожно в спину отец, стараясь подвести к Егору. — Это мой брат, а твой дядя. Поцелуй его.

Егор поднялся с места и, глядя в угол, сердито проговорил:

— А зачем по-бабьи волосы девке плетут? Тоже и штаны не подходящее дело... Матушка наказывала, потому как слухи и до нас пали, что полумужичьем девку обряжаете. Не порядок это, родимый мой...

— Ах, какие вы, право: вам-то какая печаль? Ведь Нюрочка никому не мешает... Вы по-своему живете, мы — по-своему. Нюрочка, поцелуй дядю.

Суровый тон, каким говорил дядя, заставил девочку ухватиться за полу отцовского сюртука и спрятаться. Плотно сжав губы, она отрицательно покачивала своею русою головкой.

— Я дело говорю, — не унимался Егор. —

Тоже вот в куфне сидел даве... Какой севодни у нас день-от, а стряпка говядину по горшкам сует... Семка тоже говядину сечкой рубит... Это как?..

Петр Елисеич покраснел и замахал своим платком, но в самый критический момент в кабинет вбежала запыхавшаяся Катря и объявила:

— Паны едуть с Мурмоса... На двух повозках с колокольцами. Уж Туляцкий конец проехалы и по мосту едуть.

— Хорошо, хорошо... — забормотал Петр Елисеич. — Ты, Егор, теперь ступай домой, после договорим... Кланяйся матери: приеду скоро. Катря, скажи Семке, чтобы отворял ворота, да готово ли все в сарайной?

— Усё готово, — ответила Катря, пропуская как-то боком вылезавшего из кабинета Егора. — И постели настланы, и паутину Тишка везде выскреб. Усё готово...

Глава 3

Дорога из Мурмосского завода проходила широкою улицей по всему Туляцкому концу, спускалась на поемный луг, где разлилась бойкая горная речонка Култым, и круто под-

нималась в гору прямо к господскому дому, который лицом выдвинулся к фабрике. Всю эту дорогу отлично было видно только из сарайной, где в критических случаях и устраивался сторожевой пункт. Караулили гостей или казачок Тишка, или Катря.

— С фалетуром зажаривают!.. — кричал из сарайной Тишка, счастливый, что первый «узорил» гостей. — Вон как заухивает... Казаки на вершных гонят!

Мирно дремавший господский дом пришел в страшное движение, точно неожиданно налетела буря. Уханье форейтора и звон колокольчиков приутихли — это поднимались в гору. Вся дворня знала, что с «фалетуром» гонял с завода на завод один Лука Назарыч, главный управляющий, гроза всего заводского населения. Антип распахнул ворота и ждал без шапки у вереи; Семка в глубине двора торопливо прятал бочку с водой. На крыльце показался Петр Елисеич и тревожно прислушивался к каждому звуку: вот ярко дрогнул дорожный колокольчик, завыл форейтор, и два тяжелых экипажа с грохотом вкатились во двор, а за ними, вытянувшись в

седлах, как гончие, на мохноногих и горбоносых киргизах, влетели четыре оренбургских казака.

Из первого экипажа грузно вылез сам Лука Назарыч, толстый седой старик в длиннополом сюртуке и котиковом картузе с прямым козырем; он устало кивнул головой хозяину, но руки не подал. За ним бойко выскочил чахоточный и сгорбленный молодой человек — личный секретарь главного управляющего Овсянников. Он везде следовал за своим начальством, как тень. Из второго экипажа горошком выкатился коротенький и толстенький старичок исправник в военном мундире, в белых лайковых перчатках и с болтавшеюся на боку саблей. Он коротко тряхнул руку Петра Елисеича и на ходу успел ему что-то шепнуть, а подвернувшуюся на дороге Нюрочку подхватил на руки и звонко расцеловал в губы. Через минуту он уже бежал через двор в сарайную, а перед ним летел казачок Тишка, прогремевший ногами по лестнице во второй этаж. Высунувшаяся из окна Домнушка кивнула ласково головой бойкому старичку.

— Эге, кума, ты еще жива, — подмигивая,

ответил ей исправник. — Готовь нам закуску: треба выпить горилки...

— Пожалуйте-с, — приглашал Тишка, встречая гостя в дверях сарайной.

Опрометью летевшая по двору Катря набежала на «фалетура» и чуть не сшибла его с ног, за что и получила в бок здорового тумака. Она даже не оглянулась на эту любезность, и только голые ноги мелькнули в дверях погреба: Лука Назарыч первым делом потребовал холодного квасу, своего любимого напитка, с которым ходил даже в баню. Кержак Егор спрятался за дверью конюшни и отсюда наблюдал приехавших гостей: его кержацкое сердце предчувствовало, что начались важные события.

В небольшой гостиной господского дома на старинном диванчике с выцветшею ситцевою обивкой сидит «сам» и сердито отдувается. Его сильно расколотило дорогой, да и самая цель поездки — нож острый сердцу старого крепостного управляющего. Скуластое характерное лицо с жирным налетом подернуто неприятною гримасой, как у больного, которому предстоит глотать горькое лекар-

ство; густые седые брови сдвинуты; растопыренные жирные пальцы несколько раз переходят от ручки дивана к туго перетянутой шелковою косынкой шее, — Лука Назарыч сильно не в духе, а еще недавно все трепетали перед его сдвинутыми бровями. Боже сохрани, если Лука Назарыч встанет левою ногой, а теперь старик сидит и не знает, что ему делать и с чего начать. Его возмущает проклятый француз, как он мысленно называет Петра Елисеича, — ведь знает, зачем приехали, а прикидывается, что удивлен, и этот исправник Чермаченко, который, переодевшись в сарайной, теперь коротенькими шажками мельтесит у него перед глазами, точно бес. Ходит и папиросы курит, — очень обидно Луке Назарычу, хотя исправник и раньше курил в его присутствии, а француз всегда валял набитого дурака.

Катря подала кружку с пенившимся квасом, который издали приятно шибанул старика по носу своим специфическим кисленьким букетом. Он разгладил усы и совсем поднес было кружку ко рту, но отвел руку и хрипло проговорил:

— Иван Семеныч, брось ты свою соску ради истинного Христа... Мутит и без тебя. Вот садись тут, а то бродишь перед глазами, как маятник.

— Нельзя, ангел мой, кровь застоялась... — добродушно оправдывается исправник, зажигая новую папиросу. — Ноги совсем отсидел, да и кашель у меня анафемский, Лука Назарыч; точно западней запрет в горле, не передохнешь. А табачку хватишь — и полегчает...

— Хоть бы в сенки вышел, что ли... — ворчит старик, припадая седою головой к кружке.

— Господа, закусить с дороги, может быть, желаете? — предлагает хозяин, оставаясь на ногах. — Чай готов... Эй, Катря, подавай чай!

Старик ничего не ответил и долго смотрел в угол, а потом быстро поднял голову и заговорил:

— Мы свою хорошую закуску привезли, француз... да. Вот Иван Семеныч тебе скажет, а ты сейчас пошли за попом... Ох, грехи наши тяжкие!..

— Ничего, ангел мой, как-нибудь... — успокаивает исправник, оплевывая в угол. — Это

только сначала оно страшно кажется, а потом, глядишь, и обойдется.

Старик вскочил с диванчика, ударил кулаком по столу, так что звякнула кружка с квасом, и забегал по комнате.

— Ну, что фабрика? — накинулся он на Петра Елисеича.

— Ничего, все в исправности... Работы в полном ходу.

— А у нас Мурмос стал... Кое-как набрали народу на одни домны, да и то чуть не Христа ради упросили. Ошалел народ... Что же это будет?

Исправник и хозяин угнетенно молчали, а старик так и остался посреди комнаты знаком вопроса.

Тишка во весь дух слетал за попом Сергеем, который и пришел в господский дом через полчаса, одетый в новую люстриновую рясу. Это был молодой священник с окладистою русою бородой и добродушным бледным лицом. Он вошел в гостиную и поздоровался с гостями за руку, как человек, привыкший к заводским порядкам. Лука Назарыч хотя официально и числился единоверцем, но сильно

«прикержачивал»[370] и не любил получать поповское благословение. Появление этого лица сразу смягчило общее тяжелое настроение.

— Ну, ангел мой, как вы тут поживаете? — спрашивал Иван Семеныч, любовно обнимая батюшку за талию. — Завтра в гости к тебе приду...

— Милости просим...

— Вот что, отец Сергей, — заговорил Лука Назарыч, не приглашая священника садиться. — Завтра нужно будет молебствие отслужить на площади... чтобы по всей форме. Образа поднять, хоругви, звон во вся, — ну, уж вы там знаете, как и что...

— Что же, можно, Лука Назарыч...

— А манифест... Ну, манифест завтра получите. А ты, француз, оповести поутру народ, чтобы все шли.

Петр Елисеич пригласил гостей в столовую откушать, что бог послал. О. Сергей сделал нерешительное движение убраться восвояси, но исправник взял его под руку и потащил в столовую, как хозяин.

— Пропустим по рюмочке, ангел мой, сто-

маха ради и частых недугов, — бормотал он, счастливый предстоящим серьезным делом.

— Я не пью, Иван Семеныч, — отказывался священник.

— Пустяки: и курица пьет, ангел мой. А если не умеешь, так нужно учиться у людей опытных.

Несмотря на эти уговоры, о. Сергей с мягкою настойчивостью остался при своем, что заставило Луку Назарыча посмотреть на попа подозрительно: «Приглашают, а он кочевряжится... Вот еще невидаль какая!» Нюрочка ласково подбежала к батюшке и, прижавшись головой к широкому рукаву его рясы, крепко ухватилась за его руку. Она побаивалась седого сердитого старика.

— Эй, коза, хочешь за меня замуж? — шутил с ней Иван Семеныч, показывая короткою рукой козу.

— Нет, ты старый... — шептала Нюрочка, хихикая от удовольствия.

Обед вышел поздний и прошел так же натянуто, как и начался. Лука Назарыч вздыхал, морщил брови и молчал. На дворе уже спускался быстрый весенний вечер, и в открытую

форточку потянуло холодком. Катря внесла зажженные свечи и подставила их под самый нос Луке Назарычу.

— Дура, что я, разе архирей или покойник? — накинулся старик, топая ногами.

— Не так, ангел мой, — бормотал исправник, переставляя свечи. — Учись у меня, пока жив.

Несчастная Катря растерянно смотрела на всех, бледная и жалкая, с раскрытым ртом, что немного развлекло Луку Назарыча, любившего нагнать страху.

Глава 4

После обеда Лука Назарыч, против обыкновения, не лег спать, а отправился прямо на фабрику. Петр Елисеич торопливо накинул на худые плечи свою суконную шинель серо-стального цвета с широким краганом [371] и по обычаю готов был сопутствовать владыке.

— Не нужно! — проронил всего одно слово упрямый старик и даже махнул рукой.

Он один пошел от заводского дома к заводской конторе, а потом по плотине к крутому спуску на фабрику. Старый коморник, по про-

званию Слепень, не узнал его и даже не снял шапки, приняв за кого-нибудь из служащих с медного рудника, завертывавших по вечерам на фабрику, чтобы в конторке сразиться в шашки. В воротах доменного корпуса на деревянной лавочке, точно облизанной от долгого употребления, сидели ожидавшие выпуска чугуна рабочие с главным доменным мастером Никитичем во главе. Конечно, вся фабрика уже знала о приезде главного управляющего и по-своему приготовилась, как предстать пред грозные очи страшного владыки, одно имя которого производило панику. Это было привычное чувство, выросшее вместе со всею этою «огненною работой». Сидевшие на лавочке рабочие знали, что опасность грозит именно с этой лестницы, но узнали Луку Назарыча только тогда, когда он уже прошел мимо них и завернул за угол формовочной.

— Да ведь это сам! — ахнул чей-то голос, и лавочка опустела, точно по ней выстрелили.

Против формовочной стоял длинный кричный корпус; открытые настежь двери позволяли издалека видеть целый ряд ярко пылавших горнов, а у внутренней стены дол-

били по наковальням двенадцать кричных молотов, осыпая искрами тянувших полосы кричных мастеров. Картина получалась самая оживленная, и лязг железа разносился далеко, точно здесь какие-то гигантские челюсти давили и плющили раскаленный добела металл. Ключевской завод славился своим полосовым кричным железом, и Лука Назарыч невольно остановился, чтобы полюбоваться артистическою работой ключевских кричных мастеров. Он узнал трех братанов Гущиных, имевших дареные господские кафтаны, туляка Афоньку, двух хохлов — отличные мастера, каких не найдешь с огнем. На стоявшего старика набежал дозорный Полуэхт, по прозвищу Самоварник, и прянул назад, как облитый кипятком. По кричному корпусу точно дунуло ветром: все почуяли близость грозы. Размахивая правилом, торопливо бежал плотинный «сестра» и тоже остановился рядом с Полуэхтом как вкопанный.

Молота стучали, рабочие двигались, как тени, не смея дохнуть, а Лука Назарыч все стоял и смотрел, не имея сил оторваться. Заметив остававшихся без шапок дозорного и

плотинного, он махнул им рукой и тихо проговорил:

— Не нужно...

За кричным корпусом в особом помещении тяжело отдувались новые меха, устроенные всего год назад. Слышно было, как тяжело ворочалось двухсаженное водяное колесо, точно оно хотело разворотить всю фабрику, и как пыхтели воздуходувные цилиндры, набирая в себя воздух со свистом и резкими хрипами. Старик обошел меховой корпус и повернул к пудлинговому, самому большому из всех; в ближайшей половине, выступавшей внутрь двора глаголем, ослепительным жаром горели пудлинговые печи, середину корпуса занимал обжимочный молот, а в глубине с лязгом и змеиным шипеньем работала катальная машина. В особом притыке со свистом и подавленным грохотом вертелся маховик, заставлявший сливавшиеся в мутную полосу чугунные валы глотать добела раскаленные пакеты сварочного железа и выплевывать их обратно гнувшимися под собственною тяжестью яркокрасными железными полосами.

При входе в этот корпус Луку Назарыча уже встречал заводский надзиратель Подседельников, держа снятую фуражку наотлет. Его круглое розовое лицо так и застыло от умиления, а круглые темные глаза ловили каждое движение патрона. Когда рассылка сообщил ему, что Лука Назарыч ходит по фабрике, Подседельников обежал все корпуса кругом, чтобы встретить начальство при исполнении обязанностей. Рядом с ним вытянулся в струнку старик уставщик, — плотинного и уставщика рабочие звали «сестрами».

— Не нужно! — махнул на них рукой Лука Назарыч и медленно прошел прямо к обжимочному молоту, у которого знаменитый обжимочный мастер Пимка Соболев ворочал семипудовую крицу.

Этот прием обескуражил все заводское начальство, и они, собравшись кучкой, следили за владыкой издали. Случай выдался совсем небывалый, и у всех подводило со страху животики. Крут был Лука Назарыч, и его боялись хуже огня. Только покажется на фабрике, а завтра, глядишь, несколько человек и пошло «в гору», то есть в шахту медного руд-

ника, а других порют в машинной при конторе. Как самоучка-практик, прошедший все ступени заводской иерархии, старик понимал мельчайшие тонкости заводского дела и с первого взгляда видел все недочеты.

А Лука Назарыч медленно шел дальше и окидывал хозяйским взглядом все. В одном месте он было остановился и, нахмурив брови, посмотрел на мастера в кожаной защитке и прядениках: лежавшая на полу, только что прокатанная железная полоса была с отщепиной... У несчастного мастера екнуло сердце, но Лука Назарыч только махнул рукой, повернулся и пошел дальше.

Оставался последний корпус, где прокатывали листовое железо. Это было старинное здание, упиравшееся одним концом в плотину. Между ним и пудлинговым помещалась небольшая механическая мастерская. Листовое кровельное железо составляло главный предмет заводского производства, и Лука Назарыч особенно следил за ним, как и за кричным: это было старинное кондовое дело, возникшее здесь с основания фабрики и составлявшее славу Мурмосских заводов. На рынке

была своя кличка для него: «старый горностай». В Мурмосском заводском округе Ключевской завод считался самым старейшим, а ключевская домна — одной из первых на Урале.

Обогнув механическую, Лука Назарыч в нерешительности остановился перед листокатальной, — его и тянуло туда, и точно он боялся чего. Постояв с минуту, он быстро повернулся и пошел назад тем же путем. Все корпуса замерли, как один человек, и работа шла молча, точно в заколдованном царстве. Старик чувствовал, что он в последний раз проходит полным и бесконтрольным хозяином по своему царству, — проходит, как страшная тень, оставлявшая за собой трепет... Рабочие снимали перед ним свои шляпы и кланялись, но старику казалось, что уже все было не так и что над ним смеются. В действительности же этого не было: заводские рабочие хотя и ждали воли с часу на час, но в них теперь говорила жестокая заводская муштра, те рабьи инстинкты, которые искореняются только годами. Самая мысль о воле как-то совсем не укладывалась в общий ин-

вентарь заводских соображений и дум.

Выбравшись на плотину, Лука Назарыч остановился перевести дух, а потом прошел к запорам. Над самым шлюзом, по которому на большой глубине глухо бурлила вода, выдвигалась деревянная площадка, обнесенная балясником. Здесь стояла деревянная скамейка, на которой «сестры» любили посидеть, — вся фабрика была внизу как на ладони. Старик подошел к самой решетке и долго смотрел на расцвеченные яркими огнями корпуса, на пылавшую домну и чутко прислушивался к лязгу и грохоту железа, к глухим ударам обжимочного молота. Целая полоса пестрых звуков поднималась к нему снизу, и его заводское сердце обливалось кровью.

— Не нужно... ничего не нужно... — повторял он, не замечая, как по его лицу катились рабьи крепостные слезы.

В этот момент чья-то рука ударила старика по плечу, и над его ухом раздался сумасшедший хохот: это был дурачок Терешка, подкравшийся к Луке Назарычу босыми ногами совершенно незаметно.

— Сорок восемь серебром, Иваныч... — бор-

мотал Терешка, скаля белые зубы. — Приказываю... Не узнал начальства, Иваныч?.. Завтра хоронить будем... кисель будет с попами...

Лука Назарыч, опомнившись, торопливо зашагал по плотине к господскому дому, а Терешка провожал его своим сумасшедшим хохотом. На небе показался молодой месяц; со стороны пруда тянуло сыростью. Господский дом был ярко освещен, как и сарайная, где все окна были открыты настежь. Придя домой, Лука Назарыч отказался от ужина и заперся в комнате Сидора Карпыча, которую кое-как успели прибрать для него.

Глава 5

В десять часов в господском доме было совершенно темно, а прислуга ходила на цыпочках, не смея дохнуть. Огонь светился только в кухне у Домнушки и в сарайной, где секретарь Овсянников и исправник Чермаченко истребляли ужин, приготовленный Луке Назарычу.

Как стемнелось, кержак Егор все время бродил около господского дома, — ему нужно было увидать Петра Елисеича. Егор видел, как торопливо возвращался с фабрики Лука

Назарыч, убегавший от дурака Терешки, и сам спрятался в караушку сторожа Антипа. Потом Петр Елисеич прошел на фабрику. Пришлось дожидаться его возвращения.

— А, это ты! — обрадовался Петр Елисеич, когда на обратном пути с фабрики из ночной мглы выступила фигура брата Егора. — Вот что, Егор, поспевай сегодня же ночью домой на Самосадку и объяви всем пристанским, что завтра будут читать манифест о воле. Я уж хотел нарочного посылать... Так и скажи, что исправник приехал.

— Не пойдут наши пристанские... — угрюмо отвечал Егор, почесывая в затылке.

— Это почему?

— А так... Попы будут манифесты читать, какая это воля?..

— Ну, что же я могу сделать?.. Как знаете, а мое дело — сказать.

Егор молча повернулся и, не простившись с братом, пропал в темноте. Петр Елисеич только пожал плечами и побрел на огонек в сарайную, — ему еще не хотелось спать, а на людях все-таки веселее. Поднимаясь по лестнице в сарайную, Петр Елисеич в раздумье

остановился, — до него донесся знакомый голос рудникового управителя Чебакова, с которым он вообще не желал встречаться. Слышался рассыпчатый смех старика Чермаченко и бормотанье Сидора Карпыча. «Этот зачем попал сюда?» — подумал Петр Елисеич, но не вернулся и спокойно пошел на шум голосов. Отворив дверь, он увидел такую картину: секретарь Овсянников лежал на диване и дремал, Чермаченко ходил по комнате, а за столом сидели Чебаков и Сидор Карпыч.

— Водки хочешь, Сидор Карпыч? — спрашивал Чебаков, наливая две рюмки.

— Пожалуй... — равнодушно соглашался Сидор Карпыч.

— А может быть, и не хочешь?

— Пожалуй.

— Так уж лучше я выпью за твое здоровье...

— Пожалуй...

Чебаков был высокий красавец мужчина с румяным круглым лицом, большими темными глазами и целою шапкой русых кудрей. Он носил всегда черный суконный сюртук и крахмальные сорочки. Бритые щеки и закру-

ченные усы придавали ему вид военного в отставке. По заводам Чебаков прославился своею жестокостью и в среде рабочих был известен под кличкой Палача. Главный управляющий, Лука Назарыч, души не чаял в Чебакове и спускал ему многое, за что других служащих разжаловал бы давно в рабочие. Чебаков, как и Петр Елисеич, оставался крепостным. Петр Елисеич ненавидел Палача вместе с другими и теперь с трудом преодолел себя, чтобы войти в сарайную.

— Про вовка промовка, а вовк у хату, — встретил его Чермаченко, расставляя свои короткие ручки. — А мы тут жартуем...

— Спать пора, — ответил Мухин. — Завтра рано вставать.

— Щось таке: спать?.. А ты лягай, голубчику, вместе з нами, з козаками, о-тут, покотом.

Явившаяся убирать ужин Катря старалась обойти веселого старичка подальше и сердито отмахивалась свободною рукой, когда Чермаченко тянулся ее ущипнуть. Собственно говоря, к такому заигрыванью приезжих «панов» Катря давно привыкла, но сейчас ее смущало присутствие Петра Елисеича.

— Отто гарна дивчина! — повторял Чермаченко, продолжая мешать Катре убирать со стола. — А ну, писанка, перевэрнись!.. Да кажи Домне, що я жь стосковавсь по ней... Вона ласая на гроши.

В этих «жартах» и «размовах» Овсянников не принимал никакого участия. Это был угрюмый и несообщительный человек, весь ушедший в свою тяжелую собачью службу крепостного письмоводителя. Теперь он, переглянувшись с Чебаковым, покосился на Мухина.

— Чему вы-таки веселитесь, Иван Семеныч? — удивлялся Овсянников, вытягивая свои ноги, как палки.

— Все добрые люди веселятся, Илья Савельич.

— Есть чему радоваться... — ворчал Чебаков. — Только что и будет!.. Народ и сейчас сбесился.

— Это вам так кажется, — заметил Мухин. — Пока никто еще и ничего не сделал... Царь жалует всех волей и всем нужно радоваться!.. Мы все здесь крепостные, а завтра все будем вольные, — как же не радоваться?..

Конечно, теперь нельзя уж будет тянуть жилы из людей... гноить их заживо... да.

— Это вы насчет рудника, Петр Елисеич? — спрашивал Чебаков.

— И насчет рудника и насчет остального.

— Та-ак-с... — протянул Чебаков и опять переглянулся с Овсянниковым. — Только не рано ли вы радуетесь, Петр Елисеич?.. Как бы не пожалеть потом...

— Ну уж нет! Конец нашей крепостной муке... Дети по крайней мере поживут вольными. Вот вам, Никон Авдеич, нравится смеяться над сумасшедшим человеком, а я считаю это гнусностью. Это в вас привычка глумиться над подневольными людьми, а дети этого уже не будут знать. Есть человеческое достоинство... да...

От волнения Мухин даже покраснел и усиленно принялся размахивать носовым платком.

— Бачь, як хранцуз расходився, — смеялся исправник. — А буде, що буде... Хуже не буде.

— Хуже будет насильникам и кровопийцам! — уже кричал Мухин, ударив себя в грудь. — Рабство еще никому не приносило

пользы... Крепостные — такие же люди, как и все другие. Да, есть человеческое достоинство, как есть зверство...

Петр Елисеич хотел сказать еще что-то, но круто повернулся на каблуках, махнул платком и, взяв Сидора Карпыча за руку, потащил его из сарайной. Он даже ни с кем не простился, о чем вспомнил только на лестнице.

— Пожалуй, пойдем... — соглашался Сидор Карпыч.

Вспышка у Мухина прошла так же быстро, как появилась. Конечно, он напрасно погорячился, но зачем Палач устраивает посмешище из сумасшедшего человека? Пусть же он узнает, что есть люди, которые думают иначе. Пора им всем узнать то, чего не знали до нынешнего дня.

— Нет, каково он разговаривает, а? — удивлялся Палач, оглядываясь кругом. — Вот ужо Лука Назарыч покажет ему человеческое достоинство...

— Теперь уж поздно, ангел мой, — смеялся исправник.

— Ничего, не мытьем, так катаньем можно донять, — поддерживал Овсянников своего

приятеля Чебакова. — Ведь как расхорохорился, проклятый француз!.. Велика корысть, что завтра все вольные будем: тот же Лука Назарыч возьмет да со службы и прогонит... Кому воля, а кому и хуже неволи придется.

— Ко мне бы в гору его послали, француза, так я бы ему показал!.. — грозился Чебаков в пространство.

— Да ведь он и бывал в горе, — заметил Чермаченко. — Это еще при твоем родителе было, Никон Авдеич. Уж ты извини меня, а родителя-то тоже Палачом звали... Ну, тогда француз нагрубил что-то главному управляющему, его сейчас в гору, на шестидесяти саженях работал... Я-то ведь все хорошо помню... Ох-хо-хо... всячины бывало...

Скоро весь господский дом заснул, и только еще долго светился огонек в кабинете Петра Елисеича. Он все ходил из угла в угол и снова переживал неприятную сцену с Палачом. Сколько лет выдерживал, терпел, а тут соломинкой прорвало... Не следовало горячиться, конечно, а все-таки есть человеческое достоинство, черт возьми!..

Караульный Антип ходил вокруг господ-

ского дома и с особенным усердием колотил в чугунную доску: нельзя, «служба требует порядок», а пусть Лука Назарыч послушает, как на Ключевском сторожа в доску звонят. Небойсь на Мурмосе сторожа харчистые, подолгу спать любят. Антип был человек самолюбивый. Чтобы не задремать, Антип думал вслух:

— Эй, Антип, воля пришла... Завтра, брат, все вольные будем! Если бы тебе еще зубы новые дать на воле-то...

Старик Антип был из беглых и числился в разряде непомнящих родства. Никто не помнил, когда он поселился на Ключевском заводе, да и сам он забыл об этом. Ох, давно это было, как бежал он «из-под помещика», подпалив барскую усадьбу, долго колесил по России, побывал в Сибири и, наконец, пристроился на Мурмосских заводах, где принимали в былое время всяких беглых, как даровую рабочую силу. Припомнил Антип сейчас и свою Курскую губернию, и мазанки, и вишневые садочки, и тихие зори, и еще сердитее застучал в свою доску, которая точно жаловалась, раскачиваясь в руке.

— Э, дураки, чему обрадовались: воля...

Глава 6

Ключевской завод принадлежал к числу знаменитейших Мурмосских заводов, дача которых своими сотнями тысяч десятин залегла на самом перевале Среднего Урала. С запада на восток Мурмосская заводская дача растянулась больше чем на сто верст, да почти столько же по оси горного кряжа. Главную красоту дачи составляли еще сохранившиеся леса, а потом целая сеть глубоких горных озер, соединявшихся протоками с озерами степными. Заводский центр составлял громадный Мурмосский завод, расположившийся между двумя громадными озерами — Октыл и Черчеж. Свое название завод получил от глубокого протока, соединяющего между собой эти два озера. Дорога из Мурмосского завода в Ключевской завод почти все время шла по берегу озера Черчеж, а затем выходила на бойкую горную речку Березайку. Ключевской завод поместился в узле трех горных речек — Урья, Сойга и Култым, которые образовали здесь большой заводский пруд, а дальше шли уже под именем одной реки Бе-

резайки, вливавшейся в Черчеж. На восточном склоне таких горных речек, речонок и просто ручьев тысячи. Все они в жаркие летние дни почти пересыхают, но зато первый дождь заставляет их весело бурлить и пениться, а весной последняя безыменная речонка надувалась, как будто настоящая большая река, выступала из берегов и заливала поемные луга. Живая горная вода сочилась из-под каждой горы, катилась по логам и уклонам, сливалась в бойкие речки, проходила через озера и, повернув тысячи тяжелых заводских и мельничных колес, вырывалась, наконец, на степной простор, где, как шелковые ленты, ровно и свободно плыли красивые степные реки.

В прежние времена, когда еще не было заводов, в этих местах прятались всего два раскольничьих выселка: на р. Березайке стояли Ключи, да на р. Каменке, сбегавшей по западному склону Урала, пристань Самосадка. Место было глухое, леса непроходимые, топи и болота. Осевшее здесь население сбежалось на Урал из коренной России, а потом пополнялось беглыми и непомнящими родства. Ко-

гда, в середине прошлого столетия, эта полоса целиком попала в одни крепкие руки, Ключи превратились в Ключевской завод, а Самосадка так и осталась пристанью. Как первый завод в даче, Ключевской долго назывался старым, а Мурмосский — новым, но когда были выстроены другие заводы, то и эти названия утратили всякий смысл и постепенно забылись. «Фундатором» этого заводского округа был выходец из Балахны, какой-то промышленный человек по фамилии Устюжанин. Когда впоследствии эта фамилия вошла в силу и добилась дворянства, то и самую фамилию перекрестили в Устюжаниновых. При старике Устюжанине в Ключевском заводе было не больше сотни домов. У только что запруженной Березайки поставилась первая доменная печь, а к ней прилажен был небольшой кирпичный корпус. Верстах в двух ниже по течению той же реки Березайки, на месте старой чудской копи, вырос первый медный рудник Крутяш, — это был один из лучших медных рудников на всем Урале. Устюжаниновы повели заводское дело сильною рукой, а так как на Урале в то время рабочих рук было мало,

то они охотно принимали беглых раскольников и просто бродяг, тянувших на Урал из далекой помещичьей «Расеи». Сами Устюжаниновы тоже считались «по старой вере», и это обстоятельство помогло быстрому заселению дачи.

Если смотреть на Ключевской завод откуда-нибудь с высоты, как, например, вершина ближайшей к заводу горы Еловой, то можно было залюбоваться открывавшеюся широкою горною панорамой. На западе громоздились и синели горы с своими утесистыми вершинами, а к востоку местность быстро понижалась широким обрывом. Десятки озер глядели из зеленой рамы леса, как громадные окна, связанные протоками и речками, как серебряными нитями. В самом Ключевском заводе невольно бросалась в глаза прежде всего расчлененность «жила», раскидавшего свои домишки по берегам трех речек и заводского пруда. Первоначальное «жило» расположилось на левом крутом берегу реки Урьи, где она впадала в Березайку. Утесистый берег точно был усыпан бревенчатыми избами, поставленными по-раскольничьи: избы с высо-

кими коньками, маленькими окошечками и глухими, крытыми со всех сторон дворами. Эти почерневшие постройки кондового раскольничьего «жила» были известны под общим именем «Кержацкого конца».

Когда река Березайка была запружена и три реки слились в один пруд, заводским центром сделалась фабрика. Если идти из Кержацкого конца по заводской плотине, то на другом берегу пруда вы попадали прямо в заводскую контору. Это было низкое деревянное здание с мезонином, выкрашенное желтою краской; фронтон составляли толстые белые колонны, как строились при Александре I. Громадный двор конторы был занят конюшнями, где стояли «казенные» лошади, швальней, где шорники шили всякую сбрую, кучерской, машинной, где хранились пожарные машины, и длинным флигелем, где помещались аптека и больница. Машинная, кроме своего прямого назначения, служила еще местом заключения и наказания, — конюха, между прочим, обязаны были пороть виноватых. Контора со всеми принадлежавшими к ней пристройками стояла уже на мысу, то

есть занимала часть того угла, который образовали речки Сойга и Култым. От конторы шла по берегу пруда большая квадратная площадь. Господский дом стоял как раз против конторы, а между ними в глубине площади тянулись каменные хлебные магазины. На другом конце площади на пригорке красовался деревянный базар, а на самом берегу пруда стояла старинная деревянная церковь, совсем потонувшая в мягкой зелени лип и черемух. Отдельный порядок, соединявший базар с господским домом, составляли так называемые «служительские дома», где жили заводские служащие и церковный причт.

В таком виде Ключевской завод оставался до тридцатых годов. Заводское действие расширялось, а заводских рук было мало. Именно в тридцатых годах одному из Устюжаниновых удалось выгодно приобрести две большие партии помещичьих крестьян, — одну в Черниговской губернии, а другую — в Тульской. Малороссы и великороссы были «пригнаны» на Урал и попали в Ключевской завод, где и заняли свободные места по р. Сойге и Култыму. Таким образом образовались два

новых «конца»: Туляцкий на Сойге и Хохлацкий — на Култыме. Новые поселенцы получили от кержаков обидное прозвище «мочеган», а мочегане в свою очередь окрестили кержаков «обушниками». Разница в постройках сразу определяла характеристику концов, особенно Хохлацкого, где избы были поставлены кое-как. Туляки строились «на расейскую руку», а самые богатые сейчас же переняли всю кержацкую повадку, благо лесу кругом много. Хохлы селились как-то врозь, с большими усадами, лицом к реке, а туляки осели груднее и к реке огородами.

Всех дворов в трех концах насчитывали до тысячи, следовательно, население достигало тысяч до пяти, причем между концами оно делилось неравномерно: Кержацкий конец занимал половину, а другая половина делилась почти поровну между двумя остальными концами.

Мы уже сказали, что в двух верстах от завода открыт был медный рудник Крутяш. Сюда со всех заводов ссылали провинившихся рабочих, так что этот рудник служил чем-то вроде домашней каторги. Попасть «в медную

гору», как мочегане называли рудник, считалось величайшею бедой, гораздо хуже, чем «огненная работа» на фабрике, не говоря уже о вспомогательных заводских работах, как поставка дров, угля и руды или перевозка вообще. Ссыльное население постепенно образовало по течению Березайки особый выселок, который получил название Пеньковки. В течение времени Пеньковка так разрослась, что крайними домишками почти совсем подошла к Кержацкому концу, — их разделила только громадная дровяная площадь и черневшие угольные валы. Постройки в Пеньковке сгорожены были кое-как, потому что каждый строился на живую руку, пока что, да и народ сошелся здесь самый нехозяйственный. Пеньковка славилась как самое отчаянное место, поставлявшее заводских конюхов, поденщиц на фабрику и рабочих в рудник. Через Пеньковку шла дорога на пристань Самосадку, которая была уже по ту сторону Урала. До нее считалось от Ключевского завода верст двадцать, хотя версты и мерили заводские приказчики. По дороге в Самосадку особенно сильное движение происходило зимой,

когда на пристань везли «металл», а с пристани и из дальних куреней уголь и дрова.

Отдельно от всех других построек стояла заимка старика Основы, приткнувшись на правом берегу р. Березайки, почти напротив Крутяша. Основа был кержак и слыл за богатого человека. Он первый расчистил лес под пашню и завел пчел; занимался он, главным образом, рыболовством на озерах, хотя эти озера и сдавались крупным арендаторам, так что население лишено было права пользоваться рыбой. Заимка Основы являлась каким-то таинственным местом, про которое ходило много рассказов. Старик жил крепко и редко куда показывался, а попасть к нему на заимку было трудно, — ее сторожила целая стая злющих собак.

Глава 7

Последняя крепостная ночь над Ключевским заводом миновала.

Рано утром, еще совсем «на брезгу», по дороге с пристани Самосадки, с настоящими валдайскими колокольчиками под дугой, в Ключевской завод весело подкатил новенький троечный экипаж с поднятым кожаным

верхом. По звону колокольчиков все знали, что едет Самойло Евтихыч, первый заводский богатей, проживавший на Самосадке, — он был из самосадских «долгоспинников» и приходился Мухину какою-то дальнею родней. Из разбогатевших подрядчиков Самойло Евтихыч Груздев на Мурмосских заводах представлял своею особой громадную силу: он отправлял заводский караван по р. Каменке, он владел десятком лавок с красным товаром, и, главное, он содержал кабаки по всем заводам. Обыкновенно Груздев останавливался на заимке у старика Основы, но теперь его запыхавшаяся тройка в наборной сбруе подъехала прямо к господскому дому. С козел не торопясь слез здоровенный мужик Матвей Гущин, первый борец по заводам, ездивший с Груздевым в качестве «обережного».

Из экипажа сам Груздев выскочил очень легко для своих пятидесяти лет и восьми пудов веса. Он схватил за плечо спавшего Антипа и начал его трясти.

— Разе так караулят господские дома, старый черт? — кричал он, довольный, что испугал старика.

— Лука Назарыч здесь... — едва мог проговорить Антип, напрасно стараясь освободиться из медвежьей лапы Груздева. — Он в дому, а гости в сарайной.

Это известие заставило Груздева утихнуть. Он по старой мужицкой привычке провел всею ладонью по своему широкому бородатому лицу с плутоватыми темными глазками, тряхнул головой и весело подумал: «А мы чем хуже других?» С заводскою администрацией Груздев сильно дружил и с управителями был за панибрата, но Луки Назарыча побаивался старым рабьим страхом. В другое время он не посмел бы въехать во двор господского дома и разбудить «самого», но теперь было все равно: сегодня Лука Назарыч велик, а завтра неизвестно, что будет.

— Отворяй ворота, старый черт! — крикнул Груздев сторожу и сладко потянулся.

Одет был Груздев на господскую руку: верхнее «французское» пальто из синего драпа, под французским пальто суконный черный сюртук, под сюртуком жилет и крахмальная сорочка, на голове мягкая дорожная шляпа, — одним словом, все форменно.

— Эй, Васюк, вставай! — будил Груздев мальчика лет десяти, который спал на подушках в экипаже счастливым детским сном. — Пора, брат, а то я уеду один…

Эта угроза заставила подняться черноволосую головку с заспанными красивыми глазами. Груздев вынул ребенка из экипажа, как перышко, и на руках понес в сарайную. Топанье лошадиных ног и усталое позвякиванье колокольчиков заставило выглянуть из кухни Домнушку и кучера Семку.

— Эку рань принесло гостей!.. — ворчала Домнушка, зевая и крестя рот.

— Ехал бы на заимку к Основе, требушина этакая! — ругался Семка, соображая, что нужно идти принимать лошадей.

— Нет, Самойло Евтихыч славный… — сонно проговорила Домнушка и, встряхнувшись, как курица, принялась за свою работу: квашня поспела, надо печку топить, потом коров отпустить в пасево, а там пора «хлеб творить», «мягки[372] катать» и к завтраку какую-нибудь постряпеньку Луке Назарычу налаживать.

Разбитная была бабенка, увертливая, как

говорил Антип, и успевала управляться одна со всем хозяйством. Горничная Катря спала в комнате барышни и благодаря этому являлась в кухню часам к семи, когда и самовар готов, и печка дотапливается, и скатанные хлебы «доходят» в деревянных чашках на полках. Теперь Домнушка ругнула сонулю-хохлушку и принялась за работу одна.

Появление Груздева в сарайной разбудило первым исправника, который крепко обругал раннего гостя, перевернулся на другой бок, попытался было заснуть, но сон был «переломлен», и ничего не оставалось, как подняться и еще раз обругать долгоспинника.

— Куда торопишься ни свет ни заря? — обрушился на Груздева старик, охая от застарелых ревматизмов. — Не беспокойся: твое и без того не уйдет.

— Кто рано встает, тому бог подает, Иван Семеныч, — отшучивался Груздев, укладывая спавшего на руках мальчика на полу в уголку, где кучер разложил дорожные подушки. — Можно один-то день и не поспать: не много таких дней насчитаешь. А я, между прочим, Домнушке наказал самоварчик на-

ставить... Вот оно сон-то как рукой и снимет. А это кто там спит? А, конторская крыса Овсянников... Чего-то с дороги поясницу разломило, Иван Семеныч!

— Самосадские старухи вылечат...

— И то кровь давно не отворял. Это ты верно!

Домнушка знала свычаи Груздева хорошо, и самовар скоро появился в сарайной. Туда же Домнушка уже сама притащила на сковороде только что испеченную в масле пшеничную лепешку, как любил Самойло Евтихыч: один бочок подрумянен, а другой совсем пухлый.

— Так-то вот, ваше благородие! — говорил Груздев, разливая чай по стаканам. — Приходится, видно, по-новому жить...

— Тебе-то большая печаль: новые деньги загребать...

— Ну, это еще старуха надвое сказала, Иван Семеныч. В глупой копейке толку мало, а умная любит, чтобы ее умненько и брали... Ну что, как Лука-то Назарыч?

— Как ночь темная...

— Так, так... Ндравный старик, характер-

ный, а тут вдруг: всякий сам себе главный управляющий. У Луки-то Назарыча и со служащими короткий был разговор: «В гору!» Да... Вон как он Мухина-то прежде донимал... На моих памятях дело было, как он с блендочкой[373] в гору по стремянке лазил, даром что в Париже выучился. Трудно, пожалуй, будет старичку, то есть Луке Назарычу. По Расее-то давно воля прошла, Иван Семеныч, а у нас запозднилась немножко. Большое сумление для простого народу от этого было. Как уж они, то есть мужики, все знают — удивительно. Газет не читают, посторонних людей не видят, а все им доподлинно известно. Затянули волю на Мурмосе: апрель месяц на дворе.

— Куда торопиться-то? Не такое дело... Торопятся, душа моя, только блох ловить. Да и не от нас это самое дело зависит...

— Ну, да уж сколько ни ждали, а все-таки дождались.

Эти разговоры разбудили Овсянникова. Он встал недовольный и сердитый и, не умывшись, подсел к самовару.

— Скоро семь часов... Ух, как время-то катится! — удивлялся Груздев, вытаскивая из

жилетного кармана массивные золотые часы.

— Да вон и поп в церковь побрел, — заметил исправник, заглядывая в окно. — И денек славный выдался, солнышко так и жарит.

Овсянников молча и сосредоточенно пил один стакан чая за другим, вытирал свое зеленое лицо платком и как-то исподлобья упорно смотрел на хозяйничавшего Груздева.

— Что ты на меня уставился, как бык? — заметил тот, начиная чувствовать себя неловко.

— Да так... Денег, говорят, у тебя очень много, Самойло Евтихыч, так вот и любопытно поглядеть на богатого человека.

— Завидно, что ли?.. Ведь не считали вы деньги-то у меня в кармане...

— А вот, душа моя, Самойло-то Евтихыч с волей распыхается у нас, — заговорил исправник и даже развел руками. — Тогда его и рукой не достанешь.

— По осени гусей считают, Иван Семеныч, — скромничал Груздев, очень польщенный таким вниманием. — Наше такое дело: сегодня богат, все есть, а завтра в трубу вылетел.

Прибежавший Тишка шепотом объявил, что Лука Назарыч проснулся и требует к себе Овсянникова. Последний не допил блюдечка, торопливо застегнул на ходу сюртук и разбитою походкой, как опоенная лошадь, пошел за казачком.

— Глиста!.. — проговорил Груздев вслед Овсянникову. — Таким бы людям и на свет лучше не родиться. Наверное, лежал и подслушивал, что мы тут калякали с тобой, Иван Семеныч, потом в уши Луке Назарычу и надует.

Груздев пожалел про себя, что не во-время развязал язык с исправником, но уж ничего не поделаешь. Сказанное слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

Глава 8

Ровно в девять часов на церкви загудел большой колокол, и народ толпами повалил на площадь. Из Туляцкого и Хохлацкого концов, как муравьи, ползли мужики, а за ними пестрели бабьи платки и сарафаны. Всевозможная детвора скоро облепила всю церковную ограду, паперть и даже церковные липы. Церковь была маленькая и не могла

вместить столько народа. А колокол гудел, разливая в воздухе мерную, торжественную волну. Народ столпился везде. На базаре стояли в своих жупанах и кожухах хохлы, у поповского порядка — туляки; бабы пестрою волнующеюся кучей ждали у церковной ограды. Старухи хохлушки в больших сапогах и выставлявшихся из-под жупанов длинных белых рубахах, с длинными черемуховыми палками в руках, переходили площадь разбитою, усталою походкой, не обращая внимания ни на кого. Худые и тонкие, с загоревшею, сморщенною кожей шеи, как у жареного гуся, замотанные тяжелыми платками головы и сгорбленные, натруженные спины этих старух представляли резкий контраст с плотными и белыми тулянками, носившими свои понитки в накидку. Великорусский тип особенно сказывался на стариках: важный и степенный народ, с такими открытыми лицами и белыми патриархальными бородами.

Колокол все гудел, народ прибывал, и на площади становилось тесно. Около заводской конторы и на крылечке сидели служащие и мелкая заводская сошка, а у машинной, где

висел на высоком столбе медный колокол, шушукалась и хихикала расцвеченная толпа заводских поденщиц, вырядившихся в ситцевые сарафаны, кумачные платки и станушки с пестрыми подзорами. Тут были и хохлушки, и тулянки, и кержанки, но заводская поденщина давно сгладила всякую племенную разницу. Заводские конюха и приехавшие с гостями кучера заигрывали с этою веселою толпой, которая взвизгивала, отмахивалась руками и бросала в конюхов комьями земли. Кое-кто из мужиков насмелился подойти к самому господскому дому. У ворот стояли отдельною кучкой лесообъездчики и мастера в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах.

Фабрика была остановлена, и дымилась одна доменная печь, да на медном руднике высокая зеленая железная труба водокачки пускала густые клубы черного дыма. В общем движении не принимал никакого участия один Кержацкий конец, — там было совсем тихо, точно все вымерли. В Пеньковке уже слышались песни: оголтелые рудничные рабочие успели напиться по рудниковой пого-

ворке: «кто празднику рад, тот до свету пьян».

На дворе господского дома у крыльца стоял выездной экипаж, дожидавшийся «самого». Лука Назарыч еще не выходил из своей комнаты, а гости и свои служащие ждали его появления в гостиной и переговаривались сдержанным шепотом. Слышно было, как переминалась с ноги на ногу застоявшаяся у крыльца лошадь да как в кухне поднималась бабья трескотня: у Домнушки сидела в гостях шинкарка Рачителиха, красивая и хитрая баба, потом испитая старуха, надрывавшаяся от кашля, — мать Катри, заводская дурочка Парасковея-Пятница и еще какие-то звонкоголосые заводские бабенки. Маленькая Нюрочка занимала свой обычный пост на лестнице и со страхом и любопытством смотрела на дурочку, которая в окошко плевала на дразнившего ее Васю Груздева.

— Ты, балун, перестань... — уговаривала Домнушка мальчика и качала головой, когда тот показывал ей язык.

До десятка ребятишек, как воробьи, заглядывали в ворога, а Вася жевал пряники и бросал им жвачку. Мальчишки гурьбой броса-

лись на приманку и рассыпались в сторону, когда Вася принимался колотить их тонкою камышовою тросточкой; он плевал на Парасковею-Пятницу, ущипнул пробегавшую мимо Катрю, два раза пребольно поколотил Нюрочку, а когда за нее вступилась Домнушка, он укусил ей руку, как волчонок.

— У, озорник проклятый!.. — ругалась Домнушка и грозила мальчику своим кулаком. — Ужо вот скажу отцу-то.

— Ну, скажи, что ты круглая дура! — бойко отвечал мальчик и был совершенно счастлив, что его слова вызывали сдержанный смех набравшейся во двор толпы. — У тебя и рожа глупая, как решето!

Наконец, показался и Лука Назарыч, грузно уселся в экипаж и вместе с исправником, нарядившимся в мундир и белые перчатки, отправился в церковь. За ним двинулись гурьбой остальные — Груздев, Овсянников и сам Мухин, который вел за руку свою Нюрочку, разодевшуюся в коротенькое желтенькое платьице и соломенную летнюю шляпу с полинявшими лентами. Девочка бойко семенила маленькими ножками и боязливо огляды-

валась назад, потому что Вася потихоньку от отца дергал ее за юбки. От конторы к ним присоединились заводские служащие: целая семья Подседельниковых и семья Чебаковых, дозорные, уставщик Корнило, плотинный Евстигней, лесообъездчики и кафтанники. Трапезник Павел, худой черноволосый туляк, завидев выезжавший из господского дома экипаж, ударил во вся, — он звонил отлично, с замиравшими переходами, когда колокола чуть гудели, и громкими трелями, от которых дрожала, как живая, вся деревянная колокольня. Навстречу заводской власти из церковной ограды показались зеленые хоругви, ярко блеснули иконы, а за ними мерным шагом двигался церковный причт в полном праздничном облачении.

Поднятые иконы несли все туляки, опоясанные через плечо белыми полотенцами. Вся площадь глухо замерла. Место для молебна было оцеплено лесообьездчиками и приехавшими с исправником казаками, которые гарцевали на своих мохноногих лошадках и помахивали на напиравшую толпу нагайками.

Парчовый низенький аналои служил центром. Перед ним полукругом выстроились иконы; хоругви колыхались на высоких древках по бокам. Старичок дьякон, откашлявшись, провозгласил эктению, а ему ответил целый хор с дьячком Евгеньичем во главе. Пели свои заводские служащие, как фельдшер Хитров, учитель Агап Горбатый, заводский надзиратель Ястребок, рудничный надзиратель Ефим Андреич и целовальник Рачитель. Посыпались дождем усердные кресты, головы наклонились, как под напором ветра стелются лоснящеюся волной спелые колосья на ниве. Лука Назарыч стоял впереди всех, сумрачный и желтый. Он старался не смотреть кругом и откладывал порывистые кресты, глядя на одну старинную икону, — раскольникам под открытым небом позволяется молиться старинным писаным иконам, какие выносят из православных церквей. Около него стояла Нюрочка и все оглядывалась на отца, который, наклонившись к ней, сдавленным от слез голосом шептал ей:

— Нюрочка, молись богу...

Мухин еще дорогой подхватил дочь на ру-

ки и, горячо поцеловав в щеку, шепнул на ухо:

— Нюрочка, помни этот день: другого такого дня не будет... Молись хорошенько богу, твоя детская чистая молитва дойдет скорее нашей.

Нюрочка все смотрела на светлые пуговицы исправника, на трясущуюся голову дьячка Евгеньича с двумя смешными косичками, вылезавшими из-под засаленного ворота старого нанкового подрясника, на молившийся со слезами на глазах народ и казачьи нагайки. Вот о. Сергей начал читать прерывавшимся голосом евангелие о трехдневном Лазаре, потом дьячок Евгеньич уныло запел: «Тебе бога хвалим...» Потом все затихло.

О. Сергей обернулся лицом к Луке Назарычу, вынул из-под ризы свернутую вчетверо бумагу, развернул ее своими белыми руками и внятно начал читать манифест: «Осени себя крестным знамением, русский народ...» Глубокая тишина воцарилась кругом. Многие стояли на коленях. Какая-то старушка тулянка припала головой к земле, и видно было, как вздрагивало у ней все тело от подавлен-

ных глухих рыданий. Дурачок Терешка стоял около дьячка и сердито смотрел кругом. На левой, бабьей стороне мелькала простоволосая голова Парасковеи-Пятницы. В кучках служащих виднелись красные заплаканные лица. Старик запасчик стоял на коленях и, откладывая широкие кресты, благочестиво качал головой, точно он хотел запомнить каждое слово манифеста.

Великая и единственная минута во всей русской истории свершилась... Освобожденный народ стоял на коленях. Многие плакали навзрыд. По загорелым старым мужицким лицам катились крупные слезы, плакал батюшка о. Сергей, когда начали прикладываться ко кресту, а Мухин закрыл лицо платком и ничего больше не видел и не слышал. Груздев старался спрятать свое покрасневшее от слез лицо, и только один Палач сурово смотрел на взволнованную и подавленную величием совершившегося толпу своими красивыми темными глазами.

Солнце ярко светило, обливая смешавшийся кругом аналоя народ густыми золотыми пятнами. Зеленые хоругви качались, высоко

поднятые иконы горели на солнце своею позолотой, из кадила дьякона синеватою кудрявою струйкой поднимался быстро таявший в воздухе дымок, и слышно было, как, раскачиваясь в руке, позванивало оно медными колечками.

— Иванычи, господи помилуй идет! — вскрикивал Терешка, становясь в голове обратной процессии.

Сейчас после молебна Лука Назарыч отправился в Мурмос. Он даже не зашел в комнату. С ним рядом сидел красавец Палач. Опять звонко завыл «фалетур», и бешеная пятерка полетела через мост по мурмосской дороге. Исчезавшее впереди облачко пыли показывало след угнавших вперед загонщиков. За экипажем главного управляющего в виде почетного конвоя скакали лесообъездчики, погромыхивая своими лядунками. В это время исправник объяснил столпившимся около него мужикам, что нужно составлять уставную грамоту, выбирать старшину и т. д. Через заводскую плотину валила на площадь густая толпа раскольников, — тронулся весь Кержацкий конец, чтобы послушать, как будет

читать царский манифест не поп, а сам исправник.

Глава 9

С отъездом Луки Назарыча весь Ключевской завод вздохнул свободнее, особенно господский дом, контора и фабрика. Конечно, волю объявили, — отлично, а все-таки кто его знает... Груздев отвел Петра Елисеича в кабинет и там допрашивал:

— Зачем так скоро угнал Лука-то Назарыч? Даже в горницы не зашел...

— Право, не знаю... Вообще он такой недовольный и озлобленный.

— Отошла, видно, пора, вот и злится.

Господский дом был переполнен народом. Заводский люд по привычке льнул к нему, полный недоумения и смутных вопросов. Любопытные заглядывали в окна, другие продирались во двор, где на особом положении чинно сидели на деревянных скамьях кафтанники, кричные мастера и особенно почтенные старики. Всю лестницу и переднюю заняли лесообъездчики и такие служащие, как дозорный Самоварник и «сестры», уставщик Корнило и плотинный Евстигней. Меж-

ду ними толкался доменный мастер Никитич, который всегда что-нибудь бормотал, как было и теперь.

— Родимые мои, слава тебе, господи... Ну, и народичку понаперло: здорово! Эх, родимые вы мои...

Заводские служащие дожидались приглашения в конторе и пришли в господский дом двумя партиями: сначала пришли Подседельниковы, а за ними Чебакова родня. Мужики снимали шляпы и шапки, а Никитич как-то по-бабьи причитал: «Благодетели, родимые... Ефиму Андреичу нижайшее... Ах, голубь ты наш сизокрылый...» Служащие кланялись и степенно проходили в «горницы», где их встречал Петр Елисеич. Эти две фамилии заводских служащих враждовали между собой с испокон веку и теперь сошлись вместе в полном своем составе, кажется, еще в первый раз. Во главе фамилии Чебаковых стояли меднорудянский надзиратель старичок Ефим Андреич и Палач, а во главе Подседельниковых — заводский надзиратель Ястребок; первые с испокон веку обращались, главным образом, около медного рудника Крутяша, а вто-

рые на фабрике и в заводской конторе, хотя и встречались перебежчики. Были служащие, как фельдшер Хитров или учитель Агап Горбатый, которые не принадлежали ни к той, ни к другой партии: фельдшер приехал из Мурмоса, а учитель вышел из мочеган. Все они были крепостные.

Отдельно держались приезжие, как своего рода заводская аристократия, Овсянников, Груздев, исправник, старик Основа и о. Сергей. К ним присоединились потом Ефим Андреич и Ястребок. Основа, плечистый и широкий в кости старик, держал себя совершенно свободно, как свой человек. Он степенно разглаживал свою седую, окладистую бороду и вполголоса разговаривал больше с Груздевым. В своем раскольничьем полукафтане, с подстриженными в скобку волосами, Основа резко выделялся из остальных гостей.

— Ну, господа, теперь можно и выпить, — предлагал Мухин, стараясь занимать своих гостей.

— Тот не добрый человек, хто не пье горилки, — поддерживал его отдыхавший после молебна исправник.

Домнушка, Катря и казачок Тишка выбивались из сил: нужно было приготовить два стола для панов, а там еще стол в сарайной для дозорных, плотинного, уставщиков и кафтанников и самый большой стол для лесообъездчиков и мастеров во дворе. После первых рюмок на Домнушку посыпался целый ряд непрошеных любезностей, так что она отбивалась даже ногами, особенно когда пробегала через крыльцо мимо лесообъездчиков.

Больше всех надоедал Домнушке гонявшийся за ней по пятам Вася Груздев, который толкал ее в спину, щипал и все старался подставить ногу, когда она тащила какую-нибудь посуду. Этот «пристанской разбойник», как окрестила его прислуга, вообще всем надоел. Когда ему наскучило дразнить Сидора Карпыча, он приставал к Нюрочке, и бедная девочка не знала, куда от него спрятаться. Она спаслась только тем, что ушла за отцом в сарайную. Петр Елисеич, по обычаю, должен был поднести всем по стакану водки «из своих рук».

— Родимый мой, Петр Елисеич, — причитал Никитич, уже успевший где-то хлеб-

нуть. — Родимый мой, дай я тебя поцелую от желань-сердца.

— А ты уж ушел клюкнуть? — удивлялся Петр Елисеич.

— Да ведь, родимый мой, Петр Елисеич... а-ах, голубь ты наш сизокрылый! Ведь однова нам волю-то справить, а другой не будет...

— Смотри, чтобы козла[374] в домну для праздника не посадить.

— Я? А-ах, родимый ты мой... Да я, как родную мать, ее стерегу, доменку-то свою. А ты уж нам из своих рук подай, голубь.

Петр Елисеич наливал стаканы, а Нюрочка подавала их по очереди. Девочка была счастлива, что могла принять, наконец, деятельное участие в этой церемонии, и с удовольствием следила, как стаканы быстро выпивались, лица веселели, и везде поднимался смутный говор, точно закипала приставленная к огню вода.

Предобеденная закуска развязала языки и в господском доме, где тоже все заметно оживились.

— Теперь я... ежели, например, я двадцать пять лет, по два раза в сутки, изо дня в день

в шахту спускался, — ораторствовал старик Ефим Андреич, размахивая руками. — Какая мне воля, ежели я к ненастью поясницы не могу разогнуть?

Старик Чебаков принадлежал к типу крепостных заводских служащих фанатиков. Он точно родился в своем медном руднике. Желтый и сгорбленный, с кривыми короткими ногами, с остриженными под гребенку, серыми от седины волосами и узкими, глубоко посаженными глазками, он походил на крота. Рудниковые рабочие боялись его, как огня, потому что он на два аршина под землей видел все. Служащие уважали его, как отчаянного «делягу», и охотно теперь слушали, сбившись в кучку. О воле точно боялись говорить, — кто знает, что еще будет? — а старики грустно вздыхали: может, и хуже будет.

Обед начался очень весело, и на время все забыли про свои личные счеты и мелкие недоразумения. Незаметно сгладилась даже разница, разделявшая ключевских служащих от приезжих. Нюрочка сидела около отца и слушала, что говорят другие. Ей было весело безотчетно, потому что веселились другие.

Особенно смешил ее исправник Иван Семеныч, который то пугал ее козой, то делал из салфетки зайчика и даже кудахтал по-индюшечьи. Только в разгар обеда, когда все окончательно развеселились, произошел неприятный случай. Захмелевший Овсянников ни с того ни с чего начал придираться к Ивану Семенычу. Сначала старик отшучивался, а потом покраснел.

— Эти хохлы — упрямые черти, — продолжал Овсянников.

Петр Елисеич заговорился с Груздевым и не успел предупредить неприятности.

— Не упрямее других, — отвечал Иван Семеныч.

— А как ты отпорол Сидора Карпыча тогда, а? — приставал Овсянников. — Ну-ка, расскажи?

— И тебя бы отпорол, ежели бы ты так же сделал.

— Да ты расскажи, как дело было!..

— Ничего не было... Тогда я еще только на службу поступал в Мурмос, а Сидор Карпыч с Петром Елисеичем из-за границы приехали. Ну, Сидор Карпыч — свой хохол, в гостях друг

у друга бывали, всякое прочее, да. А потом Сидор Карпыч нагрубил Луке Назарычу, а Лука Назарыч посылает его ко мне. Ну, что я буду делать с ним? Знакомый человек, хлеб-соль водили, — ну, я ему и говорю: «Сидор Карпыч, теперь ты будешь бумаги в правление носить», а он мне: «Не хочу!» Я его посадил на три дня в темную, а он свое: «Не хочу!» Что же было мне с ним делать? Он меня подводил... Других я за это порол и его должен был отпороть. Служба. Для себя он заграничный, а для меня крепостной.

Сидор Карпыч сидел тут же за столом и равнодушно слушал рассказ Ивана Семеныча. Кто-то даже засмеялся над добродушным объяснением исправника, но в этот момент Нюрочка дико вскрикнула и, бледная как полотно, схватила отца за руку.

— Нюрочка, что с тобой? — расспрашивал Петр Елисеич, с недоумением глядя на всех.

— Папа... папочка... — шептала девочка, заливаясь слезами, — Иван Семеныч дрянной, он высек Сидора Карпыча...

Петр Елисеич на руках унес истерически рыдавшую девочку к себе в кабинет и здесь

долго отваживался с ней. У Нюрочки сделался нервный припадок. Она и плакала, и целовала отца, и, обнимая его шею, все повторяла:

— Папочка, миленький, мне страшно... я боюсь... зачем Иван Семеныч дрянной?

Что мог объяснить Петр Елисеич чистой детской душе, когда этот случай был каплей в море крепостного заводского зла?

— Теперь все свободные, деточка, — шептал он, вытирая своим платком заплаканное лицо Нюрочки и не замечая своих собственных слез. — Это было давно и больше не будет...

Оставив с Нюрочкой горничную Катрю, Петр Елисеич вернулся к гостям. Радостный день был для него испорчен этим эпизодом: в душе поднялись старые воспоминания. Иван Семеныч старался не смотреть на него.

Глава 10

По улицам везде бродил народ. Из Самосадки наехали пристановляне, и в Кержацком конце точно открылась ярмарка, хотя пьяных и не было видно, как в Пеньковке. Кержаки кучками проходили через плотину к заводской конторе, прислушивались к весе-

лью в господском доме и возвращались назад; по глухо застегнутым на медные пуговицы полукафтаньям старинного покроя и низеньким валеным шляпам с широкими полями этих кержаков можно было сразу отличить в толпе. Крепкий и прижимистый народ, не скажет слова спроста.

Из гулявшей Пеньковки веселье точно перекинулось в Хохлацкий конец: не вытерпели старики и отправились «под горку», где стоял единственный кабак Дуньки Рачителихи. Да и как было сидеть по хатам, когда так и тянуло разузнать, что делается на белом свете, а где же это можно было получить, как не в Дунькином кабаке? Многие видели, как туда уже прошел дьячок Евгеньич, потом из господского дома задами прокрался караульщик Антип, завертывала на минутку проворная Домнушка и подвалила целая гурьба загулявших мастеров, отправившаяся с угощения из господского дома допивать на свои. Дунькин кабак был замечательным местом в истории Ключевского завода, как связующее звено между тремя концами. Общая работа на фабрике или в руднике не сближала в такой сте-

пени, как галденье у кабацкой стойки. Любопытно было то, что теперь из кабака не погонит дозорный, как бывало раньше: хоть умри у стойки. Рудниковые приезжали уж в кабак верхами и забирали вино. Другие просто пришли потолкаться на народе и «послухать», что «гуторят добрые люди». Низенькое бревенчатое здание кабака точно присело к земле, выкинув к дороге гостеприимное крылечко, над которым вместо вывески была прибита небольшая елочка с покрасневшею хвоей. Часть кабацкой публики столпилась около этого крылечка, потому что в кабаке было уж очень людно и не вдруг пробьешься к стойке, у которой ловко управлялась сама Рачителиха, видная и гладкая баба в кумачном сарафане.

У стойки беседовали сам Рачитель, вихлястый мужик в красной рубахе, и дьячок Евгеньич. Оба уже были заметно навеселе, и Рачителиха посматривала на них очень недружелюбно. Старички постепеннее заняли лавки около стен и вслух толковали про свои дела. Дверь была открыта, и новые гости входили и выходили сплошною толпой. Два ма-

леньких оконца едва освещали эту галдевшую толпу; в воздухе висел табачный дым, и делалось жарко, как в бане. Небольшая захватанная дверка вела из-за стойки в следующую комнату, где помещалась вся домашность кабацкой семьи, а у целовальничихи было шестеро ребят и меньшенький еще ползал по полу. Приходившие гости почище забирались в эту комнату, а также и знакомые.

— Обезножила, поди, Дунюшка? — спрашивала Домнушка целовальничиху участливым тоном.

— Уж и то смаялась... А Рачитель мой вон с дьячком канпанию завел да с учителем Агапом. Нету на них пропасти, на окаянных!

Рачителиха знала, зачем прилетела Домнушка: из господского дома в кабак прошел кричный мастер Спирька Гущин, первый красавец, которого шустрая стряпка давно подманивала и теперь из-за косячка поглядывала на него маслеными, улыбавшимися глазами.

— Мало тебе машинной-то, несытые твои глаза? — попрекнула Рачителиха гостью. — У Спирьки своих кержанок много.

— А тебе завидно?

Красавец Спирька, польщенный заигрыванием Домнушки, выпил лишний стакан водки, молодцевато крякнул и проворчал:

— Ишь мочеганки лупоглазые!.. Эй, Домна, выходи, я тебе одно словечко скажу. Чего спряталась, как таракан?

— Ступай к своим обушницам, нечего зубы-то мыть, — огрызалась Домнушка, вызывающе хихикая.

— Хошь стаканчик бальзану? — предлагал Спирька.

— Отойди, грех... Вот еще навязался человек, как короста!

— Н-но-о?.. Брысь, мочеганка!.. Но, бальзану хошь?

Домнушка поломалась для порядку и выпила. Очень уж ей нравился чистяк-мастер, на которого девки из Кержацкого конца все глаза проглядели.

Рачитель потащил дьячка к учителя в комнату, где ревели позабытые ребятишки.

— У, прощелыги!.. — обругала целовальничиха гостей вдогонку.

Худой, изможденный учитель Агап, в кази-

нетовом пальтишке и дырявых сапогах, добыл из кармана кошелек с деньгами и послал Рачителя за новым полуштофом: «Пировать так пировать, а там пусть дома жена ест, как ржавчина». С этою счастливою мыслью были согласны Евгеньич и Рачитель, как люди опытные в житейских делах.

— Однова она, воля-то наша, прилетела... — говорил Рачитель, возвращаясь с полуштофом. — Вон как народ поворачивает с радости: скоро новую бочку починать... Агап, а батька своего видел? Тоже в кабак прибрел, вместе с старым Ковальчуком... Загуляли старики.

— А ну их! — отмахивался учитель костлявою рукой. — Разе они что могут понимать?.. Необразованные люди...

Действительно, в углу кабака, на лавочке, примостились старик хохол Дорох Ковальчук и старик туляк Тит Горбатый. Хохол был широкий в плечах старик, с целою шапкой седых волос на голове и маленькими серыми глазками; несмотря на теплое время, он был в полушубке, или, по-хохлацки, в кожухе. Рядом с ним Тит Горбатый выглядел сморчком:

низенький, сгорбленный, с бородкой клинышком и длинными худыми руками, мотавшимися, как деревянные.

— И што тилько будет? — повторял Тит Горбатый, набивая нос табаком. — Ты, Дорох, как своею, этово-тово, головой полагаешь, а?

— Та я такочки вгадаю: чи були паны и будуть, чи були мужики и зостануться... Така в мене голова, Тит.

— А ты неладно, Дорох... нет, неладно! Теперь надо так говорить, этово-тово, што всякой о своей голове промышляй... верно. За барином жили — барин промышлял, а теперь сам доходи... Вот оно куда пошло!.. Теперь вот у меня пять сынов — пять забот.

— Нашел заботу, Тит... ха-ха!.. Одна девка стоит пятерых сынов... Повырастают большие, батьку и замена. Повертай, як хто хоче... Нэхай им, сынам. Була бы своя голова у каждого... Вот як кажу тоби, старый.

— Старичкам наше почтение! — здоровался с ними дозорный Самоварник. — Чего ворожите, старички?

— А так, Полуэхт, промежду себя балакаем, — уклончиво отвечал Тит, недолюбливав-

ший пустого человека. — То то, то другое... Один говорит, а другой слухает, всего и работы...

— Верно, старички... верно, родимые.

Самоварник осмотрел кабацкую публику, уткнул руки в бока, так что черный халат из тонкого сукна болтался назади, как хвост, и, наклонив свое «шадривое» лицо с вороватыми глазами к старикам, проговорил вполголоса:

— Вот што, старички, родимые мои... Прожили вы на свете долго, всего насмотрелись, а скажите мне такую штуку: кто теперь будет у нас на фабрике робить, а?

Старики переглянулись, посмотрели на Полуэхта, известного заводского враля, и одновременно почесали в затылках: им эта мысль еще не приходила в голову.

— А кто в гору полезет? — не унимался Самоварник, накренивая новенький картуз на одно ухо. — Ха-ха!.. Вот оно в чем дело-то, родимые мои... Так, Дорох?

— Пранци твоему батьку, якое слово вывернул! — добродушно удивлялся Ковальчук и опять смотрел на Тита. — Уси запануем, а

хто буде робить?

— Да меня на веревке теперь на фабрику не затащишь! — орал Самоварник, размахивая руками. — Сам большой — сам маленький, и близко не подходи ко мне… А фабрика стой, рудник стой… Ха-ха!.. Я в лавку к Груздеву торговать сяду, заведу сапоги со скрипом.

Около Самоварника собралась целая толпа, что его еще больше ободрило. Что же, пустой он человек, а все-таки и пустой человек может хорошим словом обмолвиться. Кто в самом деле пойдет теперь в огненную работу или полезет в гору? Весь кабак загалдел, как пчелиный улей, а Самоварник орал пуще всех и даже ругал неизвестно кого.

— Да, оно точно што тово… — повторял Тит Горбатый, ошеломленный общим галденьем. — Оно действительно… Как ты думаешь, Дорох?

— А кажу бисова сына этому выворотню, Тит… Ото так!.. Пидем та и потягнем горилки, Тит, бо в мене голова як гарбуз.

Глава 11

— Козак иде… шире дорогу! — кричал голос на улице.

— Ото дурень, Терешка мой... — самодовольно говорил старик Ковальчук, толкая локтем Тита Горбатого. — Такой уродивсь: дурня не выпрямишь.

Горбатый посмотрел на приятеля слезившимися глазами и покачал головой.

— Бачь, як разщирився мой козак... го!.. — радовался Ковальчук, заглядывая в двери. — Запорожец, кажу бисова сына... Гей, Терешка!.. А батька не побачив, бисова дитына?

К старикам протолкался приземистый хохол Терешка, старший сын Дороха. Он был в кумачной красной рубахе; новенький чекмень, накинутый на одно плечо, тащился полой по земле. Смуглое лицо с русою бородкой и карими глазами было бы красиво, если бы его не портил открытый пьяный рот.

— А, это ты, батько!.. — проговорил Терешка, пошатываясь. — А я, батько, в козаки... запорожец... Чи нэма в вас, тату, горилки?

— Ото так, сынку... Доходи ближе, вже жь покажу тоби, пранцеватому, батькову горилку!.. Як потягну за чупрыну, тогда и будешь козак.

Терешка махнул рукой, повернулся на каб-

луках и побрел к стойке. С ним пришел в кабак степенный, седобородый старик туляк Деян, известный по всему заводу под названием Поперешного, — он всегда шел поперек миру и теперь высматривал кругом, к чему бы «почипляться». Завидев Тита Горбатого, Деян поздоровался с ним и, мотнув головой на галдевшего Терешку, проговорил:

— Вот они, эти хохлы, какие: батьков в грош не ставят, а?.. Ты, Дорох, как полагаешь, порядок это али нет?

— Якого же тебе порядка треба? — удивлялся Дорох.

— Вот ты и толкуй с ними... — презрительно заметил Деян, не отвечая хохлу. — Отец в кабак — и сын в кабак, да еще Терешка же перед отцом и величается. Нашим ребятам повадку дают... Пришел бы мой сын в кабак, да я бы из него целую сажень дров сделал!

— Верно... Это ты верно, Деян, этово-тово, — соглашался Тит Горбатый. — Надо порядок в дому, чтобы острастка... Не надо баловать парней. Это ты верно, Деян... Слабый народ — хохлы, у них никаких порядков в дому не полагается, а, значит, родители совсем ни

в грош. Вот Дорох с Терешкой же и разговаривает, этово-тово, заместо того, штобы взять орясину да Терешку орясиной.

— Да за волосья! — добавлял Деян, делая правою рукой соответствующее движение. — Да по зубам!

— Можно и по зубам, — соглашался Тит.

— Одною рукой за волосья, а другою в зубы, — вот тебе и будет твой сын, а то... тьфу!.. Глядеть-то на них один срам.

— Одчепись, глиндра! — ругался старый Ковальчук, возмущенный назойливостью Деяна. — Поперешный человик... Побачимо, шото з ваших сынов буде, а наши до нас зостануться: свое лихо.

Эта размолвка стариков прекратилась сейчас же, как Деян отошел к стойке и пристал к Самоварнику.

— Друг ты мне или нет, Деян? — лез обниматься к нему подгулявший дозорный. — Родимый мой, вкусим по единой.

— Чему ты обрадовался! — отталкивал его Деян. — Воля нам, православным, вышла, а кержаков пуще того будут корчить... Обрадовались, обушники!.. А знаешь поговорку:

«взвыла собака на свою голову»?

— Родимый мой, а?.. Какое я тебе слово скажу, а?.. Кто Устюжанинову робить на фабрике будет, а?.. Родимый мой, а еще что я тебе скажу, а?..

В кабаке стоял дым коромыслом. Из дверей к стойке едва можно было пробиться. Одна сальная свечка, стоявшая у выручки, едва освещала небольшое пространство, где действовала Рачителиха. Ей помогал красивый двенадцатилетний мальчик с большими темными глазами. Он с снисходительною важностью принимал деньги, пересчитывал и прятал под стойку в стоявшую там деревянную «шкатунку».

— Илюшка, ты смотри, не просчитайся, — повторяла ему Рачителиха. — Получил, што ли, с Терешки?

— Не приставай, знаем без тебя, — небрежно отвечал мальчик и с важностью смотрел на напиравшую толпу. — Вон Деяну отпущай четушку. Дядя Деян, хошь наливки?

— Ах ты, клоп... А как ты матке сейчас ответил? — привязался к нему Поперешный. — Дунюшка, не поважай парнишка: теперь по-

жалеешь — после наплачешься от него.

— Ну, ну, у себя на печи командуй, — спокойно огрызнулся мальчик и лениво зевнул. — Экая прорва народу наперла!..

Время от времени мальчик приотворял дверь в комнату, где сидел отец с гостями, и сердито сдвигал брови. Дьячок Евгеньич был совсем пьян и, пошатываясь, размахивал рукой, как это делают настоящие регенты. Рачитель и учитель Агап пели козлиными голосами, закрывая от удовольствия глаза.

— «Многая, многая, многая лета... мно-о-о-га-ая ле-еее-та!» — вытягивал своим дребезжащим, жиденьким тенорком Евгеньич. — Ну, еще, братие... Агап, слушай: си-до-ре!.. А ты, Рачитель, подхватывай. Ну, братие... Илюшка, пострел, подавай еще водки, чего глядишь?

— Давай деньги... Даром-то гуси по воде плавают.

Тит Горбатый и старый Ковальчук успели еще раза два сходить к стойке и теперь вполне благодушествовали. Хохол достал кисет с табаком, набил тютюном люльку и попыхивал дымом, как заводская труба.

— Кум... а кум? — повторял Тит, покачиваясь на месте.

— Який я тоби кум? Ото выворачивае человик...

— Нет, ты постой, Дорох... Теперь мы так с тобой, этово-тово, будем говорить. Есть у меня сын Павел?

— Щось таке?

— Есть, говорю, сын у меня меньшой? Пашка сын, десятый ему годочек с спожинок пошел. Значит, Пашка... А у тебя, Дорох, есть дочь, как ее звать-то?.. Лукерьей дочь-то звать?

— Та нэт же: ни якой Лукерьи нэма... Старшая Матрена, удовая, ну, Катрина матка — Катря, що у пана в горницах. Нэма Лукерьи.

— А меньшую-то как звать?

— Э, экий же ты, Тит, недогадливый: Федоркой звать.

— Так, так, Федорка... вспомнил. В нашем Туляцком конце видал, этово-тово, как с девчонками бегала. Славная девушка, ничего, а выправится — невеста будет.

— А то як же? У старого Коваля як дочка подрастет — ведмедица буде... У мене все доч-

ки ведмедицы!

— Так, так... Так я тово, Дорох, про Федорку-то, значит, тово... Ведь жениха ей нужно будет приспособить? Ну, так у меня, значит, Пашка к тому времю в пору войдет.

— Ну, нэхай ему, твоему Пашке... Усе хлопцы так: маленький, маленький, а потом выросте большой дурень, як мой Терешка.

— Хочешь сватом быть, Дорох?.. Сейчас ударим по рукам — и дело свято... Пропьем, значит, твою девку, коли на то пошло!

— А ну вдарим, Тит... Ведмедица, кажу, Федорка буде!

Подгулявшие старики ударили по рукам и начали перекоряться относительно заклада, даров, количества водки и других необходимых принадлежностей всякой свадьбы.

— А ну поцалуемся, Тит, — предлагал Ковальчук и облапил будущего свата, как настоящий медведь. — Оттак!.. Да пидем к Дуньке, пусть руки разнимет.

Пошатываясь, старики побрели прямо к стойке; они не заметили, что кабак быстро опустел, точно весь народ вымели. Только в дверях нерешительно шушукались чьи-то го-

лоса. У стойки на скамье сидел плечистый мужик в одной красной рубахе и тихо разговаривал о чем-то с целовальничихой. Другой в чекмене и синих пестрядинных шароварах пил водку, поглядывая на сердитое лицо целовальничихина сына Илюшки, который косился на мужика в красной рубахе.

— Дунька... А вот разойми у нас руки: сватами будем, — заговорил Тит Горбатый, останавливаясь у стойки.

Взглянув на мужика в красной рубахе, он так и проглотил какое-то слово, которое хотел сказать. Дорох во-время успел его толкнуть в бок и прошептал:

— Сват, бачишь?.. Эге, Окулко...

Но сват уже пятился к дверям, озираясь по сторонам: Окулко был знаменитый разбойник, державший в страхе все заводы. В дверях старики натолкнулись на дурака Терешку и Парасковею-Пятницу, которых подталкивали в спину другие.

— Эге, сват, пора втикать до дому, — шептал Ковальчук, выскакивая на крыльцо. — Оттак Дунька... Другий-то тоже разбойник: Беспалого слыхал?

Глава 12

Беспалый по прежнему стоял у стойки и сосредоточенно пил водку. Его сердитое лицо с черноватою бородкой и черными, как угли, глазами производило неприятное впечатление; подстриженные в скобку волосы и раскольничьего покроя кафтан говорили о его происхождении — это был закоснелый кержак, отрубивший себе палец на правой руке, чтобы не идти под красную шапку.[375] Окулко был симпатичнее: светло-русая окладистая бородка, серые большие глаза и шапка кудрявых волос на голове. К ним подошел третий товарищ, хохол Челыш, громадный мужик с маленькою головкой, длинными руками и сутулою спиной, как у всех силачей.

— Где ты пропадал, Челыш? — окликнул его Окулко.

— А до господского дома ходив, — вяло ответил хохол и знаком приказал целовальничихе подать целый полуштоф водки. — Паны гуляют у господском дому, — ну, я на исправника поглядел... Давно не видались.

Воцарившаяся в кабаке тишина заставила дьячка Евгеньича высунуть голову. Увидав

разбойников, он поспешил мгновенно скрыться, точно кто его ударил. Окулко продолжал сидеть у стойки и сумрачно поглядывал на Рачителиху.

— Нашли тоже и время прийти... — ворчала та, стараясь не смотреть на Окулка. — Народу полный кабак, а они лезут... Ты, Окулко, одурел совсем... Возьму вот, да всех в шею!.. Какой народ-то, поди уж к исправнику побежали.

— А Самоварник у встречу попавсь: бегит-бегит к господскому дому, — смеялся Челыш, расправляя усы. — До исправника побег, собачий сын, а мы що зуспеем покантовать, Дуня.

— Пора кабак запирать, вот что! — не вытерпел, наконец, Илюшка, вызывающе поглядывая на кутивших разбойников. — Ступайте, откуда пришли...

— Вишь змееныш! — взбурил Окулко и ударил кулаком по стойке.

Целовальничиха посмотрела на него умоляющим взглядом и вся покраснела, точно он ударил ее этим словом по сердцу. Она так и обмерла давеча, когда у стойки точно из зем-

ли вырос Окулко. И каждый раз так, а он сидит и смотрит на нее. О, как любила когда-то она вот эту кудрявую голову, сколько приняла из-за нее всякого сраму, а он на свою же кровь поднимается... Вон как на Илюшку взбурил, как медведь. Но это было минутное чувство: Дуня забыла о себе и думала теперь об этих разбойниках, которым одна своя воля осталась. Бабье сердце так и заныло от жалости, и целовальничиха смотрела на всех троих такими ласковыми глазами. Не будет воли вот этим отпетым, забубенным головушкам да бабам...

— Окулко, ступай, коли ум есть, — ласково прошептала она, наклоняясь к разбойнику. — Сейчас народ нагонят... неровен час...

— Тошно мне, Дунюшка... — тихо ответил Окулко и так хорошо посмотрел на целовальничиху, что у ней точно что порвалось. — Стосковался я об тебе, вот и пришел. Всем радость, а мы, как волки, по лесу бродим... Давай водки!

Челыш и Беспалый в это время шептались относительно Груздева. Его теперь можно будет взять, потому как и остановился он не у

Основы, а в господском доме. Антип обещал подать весточку, по какой дороге Груздев поедет, а он большие тысячи везет с собой. Антип-то ловко все разведал у кучера: водку даве вместе пили, — ну, кучер и разболтался, а обережного обещался напоить. Проворный черт, этот Матюшка Гущин, дай бог троим с ним одним управиться.

— Работишка будет... — толкнул Беспалый разнежившегося Окулка. — Толстое брюхо поедет.

В это время, пошатываясь, в кабак входил Антип. Он размахивал шапкой и напевал крепостную московскую песню, которую выучил в одном сибирском остроге:

Собаки борзые,
Крестьяне босые...

Разбойники не обратили на него никакого внимания, как на незнакомого человека, а Беспалый так его толкнул, что старик отлетел от стойки сажени на две и начал ругаться.

— А ты не дерись, слышишь? — приставал Антип к Беспалому, разыгрывая постороннего человека. — Мы и сами сдачи дадим мелки-

ми...

Подбодренные смелостью старика, в дверях показались два-три человека с единственным заводским вором Мороком во главе. Они продолжали подталкивать дурачка Терешку, Парасковею-Пятницу и другого дурака, Марзака, высокого старика с лысою головою. Морок, плечистый мужик с окладистою бородой и темными глазами навыкате, слыл за отчаянную башку и не боялся никого. С ним под руку ворвался в кабак совсем пьяный Терешка-казак.

— Сорок восемь серебром... приказываю... — бормотал Терешка и полез к стойке.

— Терешка, хочешь водки? — окликнул его Окулко. — Рачителиха, давай им всем по стакану... Парасковея, аль не узнала?.. Наливай еще по стакану! — командовал развеселившийся Окулко. — Всем воля вышла... Гуляй на все, сдачи не будет.

— Окулко, возьмите меня с собой козаковать? — приставал к разбойнику Терешка-казак, не понимавший, что делает. — Я верхом поеду... Теперь, брат, всем воля: не тронь!

— У нас хлеб дорогой, а ты глуп. Нет, брат,

нам с тобой не по пути... — отвечал Окулко, чутко прислушиваясь к каждому звуку.

— Я?.. Запорожец... эге!.. Хочешь, потянемся на палке...

— Ступай к своему батьке да скажи ему, чтобы по спине тебя вытянул палкой-то... — смеялся Окулко. — Вот Морока возьмем, ежели пойдет, потому как он промыслит и для себя и для нас. Так я говорю, Морок?

— Угости стаканчиком, Окулко!

— Ах ты, горе гороховое!.. Рачителиха, лени ему стаканчик... Пусть с Парасковеей повеселятся в мою голову. А давно тебя били в последний раз, Морок?

— Третьева дни... Так взбодрили, что страсть.

— За какие качества?

— А так... Сапоги нашли... Знаешь Самоварника? Ну, так его сапоги... Только как жив остался — удивительно!

Морок был удивительный человек, умевший отбиться от работы даже в крепостное время. Он произошел все заводские работы, какие только существовали, и нигде не мог ужиться. Сначала как будто и работает, а по-

том все бросит, и его гонят в три шеи. Окончательно Морок отбился от господской работы, когда поставили на руднике паровую машину. «Что я за собака, чтобы на свист стал ходить?» — объявил Морок и не стал ходить на работу. Что с ним ни делали, он устоял на своем. Сам Палач отказался от Морока. Добившись воли, Морок превратился в кабацкого завсегдатая и слыл по заводу, как единственный вор. Он ходил в лохмотьях, но держался гордо, как свободный человек. И теперь, выпив стакан водки, он тряхнул своею косматою бородой, хлопнул Окулка по плечу и проговорил:

— Вот я, Окулко, раньше всех волю получил... Уж драли-драли, тиранили-тиранили, Палач выбился из сил, а я все-таки устоял... Вот каков я есть человек, Окулко!.. Разе ищо ошарашить стаканчик за твое здоровье? Больно уж меня избили третьева дни... на смерть били.

Окулко только мотнул головой Рачителихе, и та налила Мороку второй стаканчик. Она терпеть не могла этого пропойцу, потому что он вечно пьянствовал с Рачителем, и те-

перь смотрела на него злыми глазами.

В кабаке после недавнего затишья опять поднялся шум. Пьяный Терешка-казак орал песни и обнимался с Челышем, Марзак и Парасковея-Пятница горланили песни, дурачок Терешка хохотал, как сумасшедший.

— Над чем ты хохочешь, Терешка? — спрашивала его участливо Рачителиха.

— Весело, браковка... — отвечал дурачок и, протянув руку с деревянною коробкой, прибавил: — Часы купи... днем и ночью ходят...

Коробка была выдолблена из куска дерева и закрыта крышкой. Отодвинув крышку, Терешка показал бегавшего в коробке таракана и опять залился своим детским смехом. Всех мужиков он звал Иванычами, а баб — браковками.

Захмелевший Морок подсел к Окулку и, облапив его одною рукой, заговорил:

— Ну, как вы теперь, Окулко?.. Всем вышла воля, а вы всё на лесном положении... Так я говорю?

Глава 13

После веселого обеда весь господский дом спал до вечернего чая. Все так устали, что

на два часа дом точно вымер. В сарайной отдыхали Груздев и Овсянников, в комнате Луки Назарыча почивал исправник Иван Семеныч, а Петр Елисеич прилег в своем кабинете. Домнушка тоже прикорнула у себя в кухне. Бодрствовали только дети.

Нюрочка спряталась в кабинете отца и хотела здесь просидеть до вечера, пока все не проснутся: она боялась Васи. Ей сделалось ужасно скучно и еще не улеглось нервное состояние после рассказа Ивана Семеныча за обедом, как он высек Сидора Карпыча. Окружавшая ее тишина усиливала невидимую душевную работу. Под конец Нюрочка расплакалась, сидя тихонько в своем уголке, как плачут сироты. В этот критический момент дверь в кабинете осторожно отворилась и в нее высунулась кудрявая русая головка Васи, — она что-то шептала и делала таинственные знаки. Нюрочка отлично понимала этот немой язык, но только отрицательно покачала головой. Знаки повторились с новою силой, и Васина голова делала такие уморительные гримасы, что Нюрочка рассмеялась сквозь слезы. Это ее погубило. Голова сначала

показала ей язык, а потом приняла хныкающее выражение. Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить спавшего отца, Нюрочка вышла из своей засады и подошла к двери.

— Ты опять будешь драться? — спросила она на всякий случай.

— А ты плакса... — шепотом ответила голова, и это показалось Нюрочке настолько убедительным, что она вышла из кабинета.

Очутившись за дверью, она вдруг струсила; но Вася и не думал ее бить, а только схватил за руку и стремительно потащил за собой.

— Пойдем, Нюра, я тебе покажу такую штуку... — задыхающимся шепотом повторял он.

Глаза у пристанского разбойника так и горели, и охватившее его воодушевление передалось Нюрочке, как зараза. Она шла теперь за Васей, сама не отдавая себе отчета. Они сначала вышли во двор, потом за ворота, а через площадь к конторе уже бежали бегом, так что у Нюрочки захватывало дух.

— Вот так штука!.. — повторял Вася, задыхаясь от волнения.

Они прибежали в контору. Через темный

коридор Вася провел свою приятельницу к лестнице наверх, где помещался заводский архив. Нюрочка здесь никогда не бывала и остановилась в нерешительности, но Вася уже тащил ее за руку по лестнице вверх. Дети прошли какой-то темный коридор, где стояла поломанная мебель, и очутились, наконец, в большой низкой комнате, уставленной по стенам шкафами с связками бумаг. Все здесь было покрыто толстым слоем пыли, как и следует быть настоящему архиву.

— А это что? — торжественно объявил Вася, указывая на громадный черный щит из картона, на котором был вырезан вензель, подклеенный зеленою и красною бумагой.

Нюрочка еще никогда не видала вензелей и с удивлением смотрела на эту мудреную штуку, пока Вася объяснял ей его значение и заставлял пощупать и картон, и бумагу, и полочку для свечей на задней стенке вензеля.

— Все это зажгут, — объяснял Вася тоном знатока. — Плошки приготовлены в машинной... А мы будем кричать «ура», и твой папа и мой — все.

Нюрочке вдруг сделалось ужасно весело, и

Вася в ее глазах совсем изменился. Ей даже нравилось ничего не думать, а слепо подчиняться чужой воле. Она чувствовала то же сладко-замирающее ощущение, как на высоких качелях. Когда же, наконец, наступит вечер и зажгут иллюминацию? Ей казалось, что она просто не доживет до этого, и маленькое сердце замирало от волнения. Дальше все происходило в каком-то тумане: Вася водил свою спутницу по всей конторе, потом они бегали на плотину, где так ужасно шумела вода, и, наконец, очутились на крыше господского дома. Как случилось это последнее, Нюрочка не могла объяснить. Одна она умерла бы от страха, а за Васей карабкалась везде, как коза, и была счастлива, если он ее одобрял взглядом или жестом.

Петра Елисеича разбудила Катря, объясняя своим ломаным хохлацким говором, что панночка на крыше и ни за что не хочет спуститься оттуда.

— Нюрочка? На крыше? — повторял машинально Петр Елисеич, ничего не понимая.

— Аж страшно глядеть... — объясняла Катря.

— Не может быть! — решил он. — Ты что-нибудь путаешь...

Когда он вышел на двор, то действительно увидал Нюрочку, которая в своем желтом платьице карабкалась по самому коньку крыши. У него даже замерло сердце от ужаса... А Нюрочка улыбалась ему с крыши, напрасно отыскивая глазами своего веселого спутника, — пристанской разбойник, завидев Петра Елисеича, с ловкостью обезьяны кубарем скатился по крыше, прыгнул на росшую в саду липу, а по ней уже добрался благополучно до земли. Нюрочка увидала его уже в саду; он опять кривлялся и показывал ей язык, а она только сейчас поняла свою полную беспомощность, и давешний страх опять охватил ее. Снял ее с крыши уже кучер Семка.

— Ах ты, коза, коза... — ласково журил ее Петр Елисеич. — Так нельзя, Нюрочка.

Петр Елисеич в радостном волнении унес Нюрочку на руках в комнату и заставил наливать себе чай, — в столовой уже кипел на столе самовар.

Господский дом проснулся как-то разом, и опять в нем закипело веселье, на время пре-

рванное сном. Иван Семеныч потребовал себе пунша, потому что у него голова требовала починки. Потом стали пить пунш все, а на дворе опять появились кафтанники, лесообъездчики и разный другой заводский люд.

— Ах ты, француз, француз!.. — говорил исправник, хлопая Петра Елисеича по плечу. — Ну-ка, расскажи, как ты с французским королем в Париже обедал?

— Давно это было, Иван Семеныч, позабыл, — отнекивался Петр Елисеич.

— Сегодня можно и припомнить... Да ну же, ангел мой, расскажи!..

— Да самая простая вещь: все первые ученики, кончившие курс в Ecole polytechnique,[376] обедали с королем... Такой обычай существовал, а Луи-Филипп был добряк. Ну, и я обедал...

— А страшно было, ангел мой? Ну, признайся... хе-хе!.. Какой-нибудь кержак из Самосадки и вдруг обедает за одним столом с французским королем. Это, черт возьми, ангел мой... Ты как полагаешь, Самойло Евтихыч?

— А?.. Выпьем!.. — как-то мычал Груздев;

он редко пил и под влиянием вина превращался из бойкого и говорливого человека в меланхолика.

Нюрочка перебегала из столовой в залу и смотрела в окно на галдевшую на дворе толпу. Ей опять было весело, и она только избегала встречаться с Иваном Семенычем, которого сразу разлюбила. Добрый старик замечал эту детскую ненависть и не знал, как опять подружиться с Нюрочкой. Улучив минуту, когда она проходила мимо него, он поймал ее за какую-то оборку и прошептал, указывая глазами на Овсянникова:

— Писанка, ну, спроси у его про часы...

В другое время Нюрочка не посмела бы обратиться к сердитому и недовольному секретарю Луки Назарыча, но сейчас на нее накатился шаловливый стих.

— Илья Савельич, покажите часы!.. — звонко проговорила она, развязно подходя к угрюмому человеку.

Овсянников дремал за стаканом пунша, когда Нюрочка подбежала к нему, и с удивлением посмотрел на нее. Слово «часы» сразу подняло его на ноги. Он достал их из кармана

жилета, вытер платком и начал объяснять необыкновенные достоинства.

— Анкерные-с... с парашютом... — повторял он, показывая Нюрочке внутреннее устройство часов.

У закостеневшего на заводской работе Овсянникова была всего единственная слабость, именно эти золотые часы. Если кто хотел найти доступ в его канцелярское сердце, стоило только завести речь об его часах и с большею или меньшею ловкостью похвалить их. Эту слабость многие знали и пользовались ею самым бессовестным образом. На именинах, когда Овсянников выпивал лишнюю рюмку, он бросал их за окно, чтобы доказать прочность. То же самое проделал он и теперь, и Нюрочка хохотала до слез, как сумасшедшая.

— Ото дурень! — шептал ей Иван Семеныч, стараясь обнять. — А ты все еще сердишься на меня, писанка?

— Вы — злой... — отвечала Нюрочка, стараясь побороть в себе зарождавшуюся симпатию к Ивану Семенычу. — Нехороший...

Нюрочка совсем не заметила, как наступил вечер, и пропустила главный момент, ко-

гда зажигали иллюминацию, главным образом, когда устанавливали над воротами вензель. Как весело горели плошки на крыше, по карнизам, на окнах, а собравшийся на площади народ кричал «ура». Петр Елисеич разошелся, как никогда, и в окно бросал в народ медные деньги и пряники.

— Песенников!.. — скомандовал он кому-то из дозорных.

Скоро под окнами образовался круг, и грянула проголосная песня. Певцы были все кержаки, — отличались брательники Гущины. Обережной Груздева, силач Матюшка Гущин, достал берестяной рожок и заводил необыкновенно кудрявые колена; в Ключевском заводе на этом рожке играли всего двое, Матюшка да доменный мастер Никитич. Проголосная песня полилась широкою рекой, и все затихло кругом.

Не взвивайся, мой голубчик,
Да выше лесу, выше гор...

— выводил чей-то жалобный фальцетик, а рожок Матюшки подхватывал мотив, и песня поднималась точно на крыльях. Мочеганка

Домнушка присела к окну, подперла рукой щеку и слушала, вся слушала, — очень уж хорошо поют кержаки, хоть и обушники. У мочеган и песен таких нет... Свое бабье одиночество обступило Домнушку, непокрытую головушку, и она растужилась, расплакалась. Нету дна бабьему горюшку... Домнушка совсем забылась, как чья-то могучая рука обняла ее.

— Не весь голову, не печаль хозяина... — ласково проговорил над самым ее ухом голос красавца Спирьки Гущина.

Домнушка не двинулась, точно она вся застыла, очарованная проголосною старинною песней.

Какое-то стихийное веселье охватило весь господский дом. Иван Семеныч развернулся и потребовал песенников в горницы, а когда круг грянул:

Уж ты, зимонька-зима,
Студеная была зима!

— он пошел вприсядку с Васей Груздевым, который плясал, как скоморох.

— Куму подавайте!.. — кричал Иван Семе-

ныч. — Где кума?

Притащили Домнушку из кухни и, как она ни упиралась, заставили выпить целый стакан наливки и поставили в круг. Домнушка вытерла губы, округлила правую руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой, — плясать была она первая мастерица.

— Ах, ешь тебя мухи с комарами! — кричал Иван Семеныч, избочениваясь и притопывая ногами на месте. — Ахти... хти, хти...

Он только что хотел выделывать свое колено, как в круг протиснулся Полуэхт Самоварник и остановил его за плечо.

— Родимый мой... — бормотал он, делая какие-то знаки.

— Ну, и нашел время, — ворчал Иван Семеныч.

Круг замолк, Домнушка унырнула в свою кухню, а Самоварник шептал исправнику:

— В кабаке все трое... Вот сейчас провалиться, своем глазам видел: и Окулко, и Челыш, и Беспалый...

— Я им покажу, ангел мой...

Набат точно вымел весь народ из господского дома, остались только Домнушка, Катря

и Нюрочка, да бродил еще по двору пьяный коморник Антип. Народ с площади бросился к кабаку, — всех гнало любопытство посмотреть, как будет исправник ловить Окулка. Перепуганные Катря и Нюрочка прибежали в кухню к Домнушке и не знали, куда им спрятаться.

— Я боюсь... боюсь... — плакала Нюрочка. — Все убежали...

— Христос с нами, барышня, — уговаривала девочку захмелевшая от наливки Домнушка. — Легкое место сказать: весь завод бросился ловить одного Окулка... А он уйдет от них!

— Он с ножом, Домнушка?

— Конечно, с ножом, потому как в лесу живет... Тьфу!.. Не пымать им Окулка... Туда же и наш Аника-то воин потрепался, Иван-то Семеныч!..

Замирающею трелью заливался колокол у заводской конторы, как звонили только на пожар. Вскинулась за своею стойкой Рачителиха, когда донесся до нее этот звук.

— Чу, это нам благовестят!.. — проговорил Беспалый, пряча руку за пазуху, где лежал у него нож.

— Уходи, уходи... — шептала Дуня, хватая Окулка за его могучее плечо и напрасно стараясь сдвинуть с места.

— Не впервой... — лениво ответил Окулко. — Давай водки, Дуня.

Замерло все в кабаке и около кабака. Со стороны конторы близился гулкий топот, — это гнали верхами лесообъездчики и исправничьи казаки. Дверь в кабаке была отворена по прежнему, но никто не смел войти в нее. К двум окнам припали усатые казачьи рожи и глядели в кабак.

Когда к кабаку подъехал Иван Семеныч, единственная сальная свеча, горевшая на стойке, погасла и наступила зловещая тишина.

— Берите его! — кричал Иван Семеныч, бросаясь в дверь.

В мгновение ока произошла невообразимая свалка. Зазвенели стекла в окнах, полетели откуда-то поленья, поднялся крик и отчаянный свист.

— Вяжи их, ангелы вы мои!.. — кричал Иван Семеныч, перелезая к стойке по живой куче катавшихся по полу мужицких тел.

— Готово!.. — отвечал Матюшка Гущин, который бросился в кабак в числе первых и теперь пластом лежал на разбойнике. — Тут ён, вашескородие... здесь... Надо полагать, самый Окулко и есть!

Разбойник делал отчаянные усилия освободиться: бил Матюшку ногами, кусался, но все было напрасно.

— Всех перевязали? — спрашивал в темноте охриплый голос Ивана Семеныча.

— Усех, вашескородие... — отвечал голос туляка-лесообъездчика.

Когда добыли огня и осветили картину побоища, оказалось, что вместо разбойников перевязали Терешку-казака, вора Морока и обоих дураков.

— Который Окулко? — спрашивал Иван Семеныч.

Все сконфуженно молчали. Иван Семеныч, когда узнал, в чем дело, даже побелел от злости и дрожащими губами сказал Рачителихе:

— Ну, душа моя, я тебя сейчас так посеребрю, что...

Но он во-время опомнился, махнул рукой и вышел из кабака.

— Пусть эти подлецы переночуют в машинной, — указал он на связанных, а потом обернулся, выругал Рачителиху, плюнул и вышел.

Окулко в это время успел забраться в сарайную, где захватил исправничий чемодан, и благополучно с ним скрылся.

Глава 14

Набат поднял весь завод на ноги, и всякий, кто мог бежать, летел к кабаку. В общем движении и сумятице не мог принять участия только один доменный мастер Никитич, дожидавшийся под домной выпуска. Его так и подмывало бросить все и побежать к кабаку вместе с народом, который из Кержацкого конца и Пеньковки бросился по плотине толпами.

Убежит Никитич под домну, посмотрит «в глаз»,[377] откуда сочился расплавленный шлак, и опять к лестнице. Слепень бормотал ему сверху, как осенний глухарь с лиственни.

— Кто-нибудь завернет, тогда узнаем, — решил Никитич, окончательно удаляясь на свой пост.

В доменном корпусе было совсем темно, и

только небольшое слабо освещенное пространство оставалось около напряженно красневшего глаза. Заспанный мальчик тыкал пучком березовой лучины в шлак, но огонь не показывался, а только дымилась лучина, с треском откидывая тонкие синеватые искры. Когда, наконец, она вспыхнула, прежде всего осветилась глубокая арка самой печи. Направо в земле шла под глазом канавка с порогом, а налево у самой арки стояла деревянная скамеечка, на которой обыкновенно сидел Никитич, наблюдая свою «хозяйку», как он называл доменную печь.

— Да ты откуда объявился-то, Сидор Карпыч? — удивился Никитич, только теперь заметив сидевшего на его месте сумасшедшего.

— А пришел...

— Знаю, что пришел... Михалко, посвети-ка на изложницы, все ли канавки проделаны...

Сидор Карпыч каждый вечер исправно являлся на фабрику и обходил все корпуса, где шла огненная работа. К огню он питал какое-то болезненное пристрастие и по целым часам неподвижно смотрел на пылавшие

кричные огни, на раскаленные добела пудлинговые печи, на внутренность домны через стеклышко в фурме, и на его неподвижном, бесстрастном лице появлялась точно тень пробегавшей мысли. В застывшем лице на мгновение вспыхивало сознание и так же быстро потухало, стоило Сидору Карпычу отвернуться от яркого света. Теперь все корпуса были закрыты, кроме доменного, и Сидор Карпыч смотрел на доменный глаз, светившийся огненно-красною слезой. Рабочие так привыкли к безмолвному присутствию «немого», как называли его, что не замечали даже, когда он приходил и когда уходил: явится, как тень, и, как тень, скроется.

Теперь он наблюдал колеблющееся световое пятно, которое ходило по корпусу вместе с Михалкой, — это весело горел пук лучины в руках Михалки. Вверху, под горбившеюся запыленною железною крышей едва обозначались длинные железные связи и скрепления, точно в воздухе висела железная паутина. На вороте, который опускал над изложницами блестевшие от частого употребления железные цепи, дремали доменные голуби, — в

каждом корпусе были свои голуби, и рабочие их прикармливали.

— Мир вам — и я к вам, — послышался голос в дверях, и показался сам Полуэхт Самоварник в своем кержацком халате, форсисто перекинутом с руки на руку. — Эй, Никитич, родимый мой, чего ты тут ворожишь?

— Ты из кабака, Полуэхт?

— Было дело... Ушел Окулко-то, а казаки впотьмах связали Морока, Терешку Ковальчука, да Марзака, да еще дурачка Терешку. Чистая галуха![378]

— Так и ушел?

— Ушел, да еще у исправника чемодан прихватил, родимый мой.

— Н-ноо?.. Ловко!

Полуэхт посмотрел на Никитича и присел на скамеечку, рядом с Сидором Карпычем, который все следил за горевшею лучиной и падавшими от нее красными искрами.

— Ну, как твоя хозяйка? — спрашивал Самоварник, чтобы угодить Никитичу, который в своей доменной печи видел живое существо.

— Пошаливать начинает для праздни-

ка... — ответил Никитич и, подойдя к деревянной полочке с пробой, показал свежий образчик. — Половик выкинула, потому не любит она наших праздников.

Самоварник посмотрел пробу и покачал головой. Лучшим чугуном считался серый, потому что легко идет в передел, а белый плохим; половиком называют средний сорт.

— Наверху, видно, празднуют... — глубокомысленно заметил Самоварник, поднимая голову кверху. — Засыпки и подсыпки[379] плохо робят. Да и то сказать, родимый мой, суди на волка, суди и по волку: все загуляли.

К разговаривавшим подошел казачок Тишка, приходившийся Никитичу племянником. Он страшно запыхался, потому что бежал из господского дома во весь дух, чтобы сообщить дяде последние новости, но, увидев сидевшего на скамейке Самоварника, понял, что напрасно торопился.

— Ну что, малец? — спрашивал Никитич, зажигая новый пук лучины.

— Все то же... У нас в дому дым коромыслом стоит: пируют страсть!

— И Окулка не боятся?

— Антипа заставили играть на балалайке, а Груздев пляшет с Домнушкой... Вприсядку так и зажаривает, только брюхо трясется. Даве наклался было плясать исправник, да Окулко помешал... И Петр Елисеич наш тоже вот как развернулся, только платочком помахивает.

— Вот что, Никитич, родимый мой, скажу я тебе одно словечко, — перебил мальчика Самоварник. — Смотрю я на фабрику нашу, родимый мой, и раскидываю своим умом так: кто теперь Устюжанинову робить на ней будет, а? Тоже вот и медный рудник взять: вся Пеньковка расползется, как тараканы из лукошка.

— Как ты сказал? — удивился Никитич и даже опустил зажженную лучину, не замечая, что у него уже начала тлеть пола кафтана.

— Я говорю, родимый мой: кто Устюжанинову робить будет? Все уйдут с огненной работы и с рудника тоже.

Никитич только теперь понял все значение вопроса и совершенно остолбенел.

— Теперь вольны стали, не заманишь на

фабрику, — продолжал Самоварник уже с азартом. — Мочегане-то все поднялись даве, как один человек, когда я им сказал это самое словечко... Да я первый не пойду на фабрику, плевать мне на нее! Я торговать сяду в лавку к Груздеву.

— Постой, постой... — остановил его Никитич, все еще не имея сил совладать с мыслью, никак не хотевшей укладываться в его заводскую голову. — Как ты сказал: кто будет на фабрике робить?

— Да я первый!.. Да мне плевать... да пусть сам Устюжанинов жарится в огненной-то работе!..

Довольный произведенным впечатлением, Самоварник поднялся на ноги и размахивал своим халатом под самым носом у Никитича, точно петух. Казачок Тишка смотрел своими большими глазами то на дядю, то на развоевавшегося Самоварника и, затаив дыхание, ждал, что скажет дядя.

— А как же, например, моя-то домна останется? — накинулся Никитич с азартом, — для него вдруг сделалось все совершенно ясно. — Ну, как ее оставить хоть на час?.. Сейчас

козла посадишь — и конец!

— Хошь десять козлов сади, черт с ней, с твоею домной!

— Ну, нет, брат, это уж ты врешь, Полуэхт! Я теперь тридцать лет около нее хожу, сколько раз отваживался, а тут вдруг брошу за здорово живешь.

— И бросишь, когда все уйдут: летухи, засыпки, печатальщики... Сиди и любуйся на нее, когда некому будет робить. Уж мочегане не пойдут, а наши кержаки чем грешнее сделались?

— Врешь, врешь!.. — орал Никитич, как бешеный: в нем сказался фанатик-мастеровой, выросший на огненной работе третьим поколением. — Ну, чего ты орешь-то, Полуэхт?.. Если тебе охота — уходи, черт с тобой, а как же домну оставить?.. Ну, кричные мастера, обжимочные, пудлинговые, листокатальные... Да ты сбесился никак, Полуэхт?

Казачок Тишка вполне понимал дядю и хохотал до слез над Самоварником, который только раскрывал рот и махал руками, как ворона, а Никитич на него все наступает, все наступает.

— Ты его в ухо засвети, дядя! — посоветовал Тишка. — Вот так галуха, братцы…

— Меня не будет, Тишка пойдет под домну! — ревел Никитич, оттесняя Самоварника к выходу. — Сынишка подрастет, он заменит меня, а домна все-таки не станет.

— Да ведь и сына-то у тебя нет! — кричал Самоварник.

— Все равно: дочь Оленку пошлю.

Этот шум обратил на себя внимание литухов, которые тоже бегали в кабак ловить Окулка и теперь сбились в одну кучку в воротах доменного корпуса. Они помирали со смеху над Самоварником, и только один Сидор Карпыч был невозмутим и по прежнему смотрел на красный глаз печи.

Эта сцена кончилась тем, что Самоварник обругал Никитича варнаком и убежал.

Глава 15

Праздник для Петра Елисеича закончился очень печально: неожиданно расхворалась Нюрочка. Когда все вернулись из неудачной экспедиции на Окулка, веселье в господском доме закипело с новою силой, — полились веселые песни, поднялся гам пьяных го-

лосов и топот неистовой пляски. Петр Елисеич в суматохе как-то совсем забыл про Нюрочку и вспомнил про нее только тогда, когда прибежала Катря и заявила, что панночка лежит в постели и бредит.

— Папочка, мне страшно, — повторяла девочка. — Окулко придет с ножом и зарежет нас всех.

Комната Нюрочки помещалась рядом с столовой. В ней стояли две кровати, одна Нюрочкина, другая — Катри. Девочка, совсем раздетая, лежала в своей постели и показалась Петру Елисеичу такою худенькой и слабой. Лихорадочный румянец разошелся по ее тонкому лицу пятнами, глаза казались темнее обыкновенного. Маленькие ручки были холодны, как лед.

— Я посижу с тобой, моя крошка, — успокаивал больную Петр Елисеич.

— С тобой я не боюсь, папа, — шептала Нюрочка, закрывая глаза от утомления.

Пульс был нехороший, и Петр Елисеич только покачал головой. Такие лихорадочные припадки были с Нюрочкой и раньше, и Домнушка называла их «ростучкой», — к росту

девочка скудается здоровьем, вот и все. Но теперь Петр Елисеич невольно припомнил, как Нюрочка провела целый день. Вообще слишком много впечатлений для одного дня.

— Папочка, его очень били? — неожиданно спросила Нюрочка, продолжая лежать с закрытыми глазами.

— Нет, Окулко убежал...

— Куда же он убежал, папочка?.. Ведь теперь темно... Я знаю, что его били. Вот всем весело, все смеются, а он, как зверь, бежит в лес... Мне его жаль, папочка!..

— Да ведь ты его боишься и другие боятся тоже, поэтому и ловили.

— А если бы поймали, тогда Иван Семеныч высек бы его, как Сидора Карпыча?

— Не нужно об этом думать, глупенькая. Спи...

— Когда тебя нет, папочка, мне ужасно страшно делается, а когда ты со мной, мне опять жаль Окулка... отчего это?..

Разгулявшиеся гости не нуждались больше в присутствии хозяина, и Петр Елисеич был рад, что может, наконец, отдохнуть в Нюрочкиной комнате. Этот детский лепет всегда

как-то освежающе действовал на него. В детском мозгу мысль просыпалась такая же чистая и светлая, как вода где-нибудь в горном ключике. Вот и теперь встревоженный детский ум так трогательно ищет опоры, разумного объяснения и, главное, сочувствия, как молодое растение тянется к свету и теплу. Чтобы отец не ушел, Нюрочка держала его руку за палец и так дремала.

— Ты здесь, папочка?

— Я здесь, Нюрочка.

Детское лицо улыбалось в полусне счастливою улыбкой, и слышалось ровное дыхание засыпающего человека. Лихорадка проходила, и только красные пятна по прежнему играли на худеньком личике. О, как Петр Елисеич любил его, это детское лицо, напоминавшее ему другое, которого он уже не увидит!.. А между тем именно сегодня он страстно хотел его видеть, и щемящая боль охватывала его старое сердце, и в голове проносилась одна картина за другой.

Вот на пристани Самосадке живет «жигаль»[380] Елеска Мухин. Старик Палач, отец нынешнего Палача, заметил его и взял к себе

на рудник Крутяш в дозорные, как верного человека, а маленького Елескина сына записал в заводскую ключевскую школу. Маленький кержачонок, попавший в учебу, был горько оплакан в Самосадке, где мать и разные старухи отчитывали его, как покойника. Жигаль Елеска тоже хмурился, потому что боялся гражданской печати хуже медведя, но разговаривать с старым Палачом не полагалось.

— Дурак, человеком будет твой Петька, — коротко объяснил Палач, по-медвежьи покровительствовавший Елеске. — Выучится, в контору служителем определят.

На Мурмосских заводах было всего две школы — одна в Мурмосе, другая в Ключевском. Учили одинаково скверно в обеих, а требовался, главным образом, красивый почерк. Маленький кержачонок Петька Жигаль, как прозвали его школяры по отцу, оказался одним из первых, потому что уже выучился церковной печати еще в Самосадке у своих старух мастериц. Выучился бы он в школе, поступил бы на службу в завод и превратился бы в обыкновенного крепостного служителя,

но случилось иначе. Проживавший за границей заводовладелец Устюжанинов как-то вспомнил про свои заводы на Урале, и ему пришла дикая блажь насадить в них плоды настоящего европейского просвещения, а для этого стоило только написать коротенькую записочку главному заводскому управляющему. Сказано — сделано. Когда эта записочка прилетела на Урал, то последовала немедленная резолюция: выбрать из числа заводских школьников десять лучших и отправить их в Париж, где проживал тогда сам Устюжанинов. В это роковое число попали Петька Жигаль и хохленок Сидор Карпыч. Можно себе представить, как с Самосадки отправляли мальчугана в неведомую, басурманскую сторону. Даже «красная шапка» не производила такого панического ужаса: бабы выли и ревели над Петькой хуже, чем если бы его живого закапывали в землю, — совсем несмысленый еще мальчонко, а бритоусы и табашники обасурманят его.

Маленькому Пете Мухину было двенадцать лет, когда он распрощался с своею Самосадкой, увозя с собой твердую решимость

во что бы то ни стало бежать от антихристовой учебы. Лучше умереть, чем погубить маленькую самосадскую душу, уже пропитанную раскольничьим духом под руководством разных исправщиц, мастериц и начетчиц. Три раза пытался бежать с дороги маленький самосадский дикарь и три раза был жестоко наказан родными розгами, а дальше следовало ошеломляющее впечатление новой парижской жизни. Устюжанинов не поскупился на средства для своей «академии», как он называл своих заграничных учеников. К крепостным детям были поставлены дорогие учителя, и вообще они воспитывались в прекрасной обстановке, что не помешало Пете Мухину сделать последнюю отчаянную попытку к бегству. Он был возвращен в «академию» уже французским комиссаром и должен был помириться с неизбежною судьбой. Боже мой, как это было давно, и из всей «академии» в живых оставались только двое: он, Петька Жигаль, да еще Сидор Карпыч.

Десять лет, проведенных в Париже, совершенно переработали уральских дикарей, усвоивших не только внешний вид прокля-

тых басурман, но и душевный строй. Блага европейской цивилизации совершенно победили черноземную силу. Родное оставалось в такой дали, что о нем думали, как о чем-то чужом. Часть воспитанников получила дипломы в Ecole des mines,[381] а другие в знаменитой Ecole polytechnique. К последним принадлежал и Pierre Mouchine, окончивший курс первым учеником. Мещанский король Луи-Филипп ежегодно приглашал первого ученика из Ecole polytechnique к своему обеду, и таким образом самосадскии кержак, сын жигаля Елески, попал в Елисейский дворец. Это был какой-то блестящий и фантастический сон, который разбился потом самым безжалостным образом.

Меценатствовавший заводовладелец Устюжанинов был доволен успехами своей «академии» и мечтал о том времени, когда своих крепостных самородков-управителей заменит на заводах европейски-образованными специалистами. Неожиданная смерть прервала эти замыслы, а «академия» осталась крепостной: меценат забыл выдать вольные. Оставался, конечно, наследник, но он был

еще настолько мал, что не мог поправить эту маленькую ошибку, как и окружавшая его опека. Это маленькое затруднение, впрочем, нисколько не беспокоило молодых инженеров, возвращавшихся на родину с легким сердцем. Большинство из них переженились, кто в Париже, кто в Германии, кто в Бельгии. Мухин тоже женился на француженке, небогатой девушке, дочери механика.

Появление «заграничных» в Мурмосе произвело общую сенсацию. На вернувшуюся из далеких краев молодежь сбегались смотреть, как на невиданных зверей. Положим, на заводах всегда проживали какие-нибудь механики-немцы, но тут получались свои немцы. Всего более удивляли одеревеневший в напастях заводский люд европейские костюмы «заграничных», потом их жены — «немки» и, наконец, та свобода, с какой они держали себя. С первых же шагов на родной почве произошли драматические столкновения: родная, кровная среда не узнавала в «заграничных» свою плоть и кровь. Так, например, обедавший с французским королем Мухин на Самосадке был встречен проклятиями. Самого

жигаля Елески уже не было в живых, а раскольница-мать не пустила «француза» даже на глаза к себе, чтобы не осквернить родного пепелища. Он был проклят, как бритоус, табашник и, особенно, как муж «немки». Но самое ужасное было еще впереди. Главным управляющим тогда только что был назначен Лука Назарыч, выдвинувшийся из безличной крепостной массы своею неукротимою энергией. Появление «заграничных» уже вперед стало ему костью поперек горла. Они жили в Мурмосе уже около месяца, а он все еще не желал их принять, выжидая распоряжения из Петербурга. Наконец, получено было и оно: делайте с «заграничными» что знаете и как знаете, по своему личному благоусмотрению. Это только и было нужно. Заводский рассылка оповестил «заграничных», чтобы они явились в контору в шесть часов утра. Они явились и должны были ждать два часа в передней, пока не позвал «сам». Их уже предупредили, что они должны остановиться у порога и здесь выслушать милостивое слово своего начальства.

— Прежде всего вы все крепостные, — заго-

ворил Лука Назарыч, тогда еще средних лет человек. — Я тоже крепостной. Вот и все. О дальнейших моих распоряжениях вы узнаете через контору.

Это было ударом грома. Одно слово «крепостной» убивало все: значит, и их жены тоже крепостные, и дети, и все вместе отданы на полный произвол крепостному заводскому начальству. Нет слов выразить то отчаяние, которое овладело всею «академией». Чтобы не произошло чего-нибудь, всех «заграничных» рассортировали по отдельным заводам. Гений крепостного управляющего проявился в полном блеске: горные инженеры получили места писцов в бухгалтерии, техники были приставлены приемщиками угля и т. д. Мухин, как удостоившийся чести обедать с французским королем, получил и особый почет. Лука Назарыч ни с того ни с чего возненавидел его и отправил в «медную гору», к старому Палачу, что делалось только в наказание за особенно важные провинности. Первый ученик Ecole polytechnique каждый день должен был спускаться по стремянке с киркой в руках и с блендочкой на кожаном поясе

на глубину шестидесяти сажен и работать там наравне с другими; он представлял в заводском хозяйстве ценность, как мускульная сила, а в его знаниях никто не нуждался. Мухина спасло то, что старый Палач еще не забыл жигаля Елеску и не особенно притеснял нового рабочего.

Нужно ли говорить, что произошло потом: все «заграничные» кончили очень быстро; двое спились, один застрелился, трое умерли от чахотки, а остальные сошли с ума. К этому тяжелому времени относится эпизод с Сидором Карпычем, которого отодрал Иван Семеныч. Сидор Карпыч кончил сумасшествием, и Петр Елисеич держал его при себе, как товарища по несчастию, которому даже и деваться было некуда. Уцелел один Петр Елисеич, да и тот слыл за человека повихнувшегося. В течение пятнадцати лет его преследовала неукротимая ненависть Луки Назарыча, и только впоследствии он мог кое-как выбиться из числа простых рабочих.

Главный управляющий торжествовал вполне.

Жена Мухина героически переносила свои

испытания, но слишком рано сделалась задумчивой, молчаливой и как-то вся ушла в себя. Ее почти не видали посторонние люди. Это нелюдимство походило на сумасшествие, за исключением тех редких минут, когда мелькали проблески сознания. К этому служило поводом и то, что первые дети умирали, и оставалась одна Нюрочка. Умирая, эта «немка» умоляла мужа отправить дочь туда, на Запад, где и свет, и справедливость, и счастье. Ах, как она тосковала, что даже мертвым ее тело должно оставаться в русских снегах, хотя и верила, что наступит счастливая пора и для крепостной России.

Все это происходило за пять лет до этого дня, и Петр Елисеич снова переживал свою жизнь, сидя у Нюрочкиной кроватки. Он не слыхал шума в соседних комнатах, не слыхал, как расходились гости, и опомнился только тогда, когда в господском доме наступила полная тишина. Мельники, говорят, просыпаются, когда остановится мельничное колесо, так было и теперь.

Убедившись, что Нюрочка спит крепко, Петр Елисеич отправился к себе в кабинет,

где горел огонь и Сидор Карпыч гулял, по обыкновению, из угла в угол.

— Ну, что же ты ничего не скажешь? — заговорил с ним Мухин. — Ты понимаешь ведь, что случилось, да? Ты рад?

— Пожалуй...

Петр Елисеич схватил себя за голову и упал на кушетку; его только теперь взяло то горе, которое давило камнем целую жизнь.

— Старые, дряхлые, никому не нужные... — шептал он, сдерживая глухие рыдания. — Поздно наша воля пришла, Сидор Карпыч. Ведь ты понимаешь, что я говорю?

Единственный человек, который мог разделить и горе и радость великого дня, не мог даже ответить.

Часть II

Глава 16

Когда старый Коваль вернулся вечером из кабака домой, он прямо объявил жене Ганне, что, слава богу, просватал Федорку. Это известие старая хохлушка приняла за обыкновенные выкрутасы и не обратила внимания на подгулявшего старика.

— Пошел вывертать на уси боки... — ворчала она, толкая мужа в спину.

— Ганна, що я тоби кажу? — бормотал упрямый хохол, хватаясь за косяки дверей в сенцы. — А вот устану и буду стоять... Не трошь старого козака!..

— Оце лядащо... чего вин товчется, як баран?

Старушка напрасно старалась своими худыми руками разнять руки пьяницы, но ей на подмогу выскочила из избы сноха Лукерья и помогла втащить Коваля в хату.

— А где Терёх? — спрашивала Лукерья. — Две пьяницы, право... Сидели бы дома, как добрые люди, а то нашли место в кабаке.

Эта тулянка Лукерья была сердитая баба и

любила покомандовать над пьяными мужиками, а своего Тереха, по великорусскому обычаю, совсем под голик загнала.

— Геть, бабы!.. Чего мордуете?.. — командовал старик, продолжая упираться ногами. — А якого я свата нашел... по рукам вдарили... Эге, моя Федорка ведмедица... сват Тит тоже хвалит... а у него хлопец Пашка... Ну, чего вы на мене зуставились, як две козы?

— Матушка, да ведь старики и в самом деле, надо быть, пропили Федорку! — спохватилась Лукерья и даже всплеснула руками. — С Титом Горбатым весь день в кабаке сидели, ну и ударили по рукам...

Это известие совсем ошеломило Ганну, у ней даже руки повело от ужаса, и она только смотрела на сноху. Изба едва освещалась чадившим ночником. На лавке, подложив старую свитку в головы, спала мертвым сном Федора.

— Дорох, вже то правда? — спрашивала несчастная Ганна, чувствуя, как ее подкатывает «до пиченок».

— А то як же?.. В мене така голова, Ганна... тягнем горилку с Титом, а сами по рукам...

— Ой, лышечко!.. — заголосила Ганна, набрасываясь на старика. — Вот ледачи люди... выворотни проклятущи... Та я жь не отдам Федорку: помру, а не отдам!

— Нашел, куда просватать!.. — качала головой Лукерья. — Дом большой, одних снох четыре... Да и свекровь хороша: изъедуга...

Федорка проснулась, села на лавке, посмотрела на плакавшую мать и тоже заревела благим матом. Этот рев и вой несколько умерили блаженное состояние Коваля, и он с удивлением смотрел по сторонам.

— От тоби на... — проговорил он, наконец, разводя руками. — Лукерья, а где твой Терёх, вгадай?

— Да я почем знаю... Вместе сидели в кабаке...

— А я жь тоби кажу: побигай до машинной, там твой и Терёх. Попавсь, бисова дитына, як индык!

Теперь запричитала Лукерья и бросилась в свою заднюю избу, где на полу спали двое маленьких ребятишек. Накинув на плечи пониток, она вернулась, чтобы расспросить старика, что и как случилось, но Коваль уже спал

на лавке и, как бабы ни тормошили его, только мычал. Старая Ганна не знала, о ком теперь сокрушаться: о просватанной Федорке или о посаженном в машинную Терешке.

— А я в контору сбегаю проведать... — решила сердитая на все Лукерья и полетела на улицу.

Через полчаса она вернулась: Терешка спал в машинной мертвецки пьяный, и Лукерья, заливаясь слезами, от души желала, чтобы завтра исправник хорошенько отодрал его. Старая Ганна слушала сноху и качала головой. Закричавший в задней избе ребенок заставил Лукерью уйти, наконец, к себе.

Всю ночь до свету не спала Ганна. И кашель ее мучил и разные нехорошие думки. Терешка, конечно, проспится, а вот как Федорка... Слезы так и душили старую хохлушку, когда она начинала думать об этом несчастном сватовстве и представляла свою Федорку снохой Тита Горбатого. Хохлы охотно женились на тулянках, как это было и с Терешкой. Ганна сама этого пожелала и выбрала Лукерью. Тулянки такие работящие и не зорят семьи, как хохлушки. Куда бы девалась

та же Ганна, если бы Лукерья начала подбивать Терешку к отделу? Конечно, она сердитая и ни в чем не уступает Ганне, но зато ведет целый дом и никогда не пожалуется. Тулянки сами охотно шли за хохлов, потому что там не было больших семей, а хохлушки боялись женихаться с туляками. В большом дому ленивую и неумелую хохлушку-сноху забьют проворные на все тулянки, чему и было несколько примеров.

Старшая дочь Матрена сколько горя приняла со своим вдовством, а теперь последнюю родной отец хочет загубить.

Рано утром, отпустив корову в пасево, Ганна успела прибраться по хозяйству. Дом у Коваля был небольшой, но исправный. Изба делилась сенями по-москалиному на две половины: в передней жил сам старик со старухой и дочерью, а в задней — Терешка с своей семьей. Было у них два хлева, где стояли Терешкина лошадь и корова Пестренка, под навесом красовалась новая телега, под другим жили овцы, а в огороде была устроена особая загородка для свиней. Дорох любил, чтобы к рождеству заколоть своего «кабана» и есть

коржики с своим салом. Вообще все хозяйство как следует быть: своя шерсть от овец и овчины (это уж Лукерья завела овец), свое молоко и свое мясо к празднику.

Когда сноха проснулась и затопила печку, Ганна накинула на плечи старый жупан и торопливо вышла из ворот: стадо уже угнали в лес, и только проспавшие хозяйки гнали своих коровенок. Изба старого Коваля выходила лицом к речке Култыму, которая отделяла Хохлацкий конец от Туляцкого. Старая Ганна торопливо перебежала по берегу, поднялась на пригорок, где по праздникам девки играли песни, и через покосившийся старый мост перешла на туляцкую сторону, где правильными рядами вытянулись всё такие крепкие, хорошие избы.

— Вон какие славные избы у туляков... — невольно сравнила старуха туляцкую постройку с своей хохлацкой. — Наши хохлы ленивые да пьянчуги... о, чтоб им пусто было!.. Вон тулянки уж печки истопили, а наши хохлушки только еще поднимаются...

Когда-то давно Ганна была и красива и «товста», а теперь остались у ней кожа да ко-

сти. Даже сквозь жупан выступали на спине худые лопатки. Сгорбленные плечи, тонкая шея и сморщенное лицо делали Ганну старше ее лет, а обмотанная бумажною шалью голова точно была чужая. Стоптанные старые сапоги так и болтались у ней на ногах. С моста нужно было подняться опять в горку, и Ганна приостановилась, чтобы перевести немного дух: у ней давно болела грудь.

Большая пятистенная изба Горбатого стояла на большой Туляцкой улице, по которой шла большая дорога в Мурмос. Она резко выделялась среди других построек своею высокою тесовою крышей и целым рядом разных пристроек, сгрудившихся на задах. Недавно старик покрыл весь двор сплошною крышей, как у кержаков, и новые тесницы так и горели на солнце. Все знали, что старику помог второй сын, Макар, который попал в лесообъездчики и стал получать доходы. Таких крытых дворов в Туляцком конце было уже штук пять, а у хохлов ни одного. Рядом с избой Горбатого стыдливо присела развалившаяся избенка пьяницы Рачителя и своим убожеством еще сильнее выделяла богатого соседа.

У ворот стояла запряженная телега. Тит Горбатый давно встал и собирался ехать на покос. У старика трещала с похмелья голова, и он неприветливо покосился на Ганну, которая спросила его, где старая Палагея.

— А в избе киснет... — едва ответил старик, рассматривая рассыхавшееся колесо. — Она, тово-этово, со снохами воюет.

Поднимаясь на крылечко, Ганна натолкнулась на молодую сноху Агафью, которая стремглав вылетела из избы и на ходу поправляла сбившийся на затылок платок. Красное лицо и заплаканные глаза не требовали объяснений. Отворив дверь в избу, Ганна увидела старшую сноху у печи, а сама Палагея усаживалась за кросна. Обернувшись, старуха с удивлением посмотрела на раннюю гостью. Помолившись на образ, Ганна присела на лавочку к кроснам и завела речь о лишней ярочке, которую не знала куда девать. Палагея внимательно слушала, опустив глаза, — она чувствовала, что хохлушка пришла не за этим. Когда возившаяся около печи сноха вывернулась зачем-то из избы, Ганна рассказала про вчерашнее сватовство.

— Ну, так что тебе? — сурово спросила Палагея, неприятно пораженная этою новостью. Тит не любил разбалтывать в своей семье и ничего не сказал жене про вчерашнее.

— Та будь ласкова, разговори своего-то старика, — уговаривала Ганна со слезами на глазах. — Глупая моя Федорка, какая она сноха в таком большом дому... И делать ничего не вмеет, — совсем ледаща.

— Отец да мать не выучат — добрые люди выучат... Что же, разве мы цыгана, чтобы словами-то меняться?.. Может, родниться не хочешь?

Вернувшаяся в избу сноха прекратила этот разговор, и Ганна торопливо вытерла непрошенные слезы и опять заговорила про свою ярочку.

— А наших тулянок любите брать? — спрашивала рассердившаяся старуха, не обращая внимания на политику гостьи. — Сама тоже для Терешки присмотрела не хохлушку... Вишь старая!.. А как самой довелось...

— Да ведь тулянки сами бегут за наших хохлов, — оправдывалась Ганна. — Спроси Лукерью...

— Потакаете снохам, вот и бегут... Да еще нашим повадка нехорошая идет. А про Федорку не беспокойся: выучится помаленьку.

Кросна сердито защелкали, и Ганна поняла, что пора уходить: не во-время пришла. «У, ведьма!» — подумала она, шагая через порог богатой избы, по которой снохи бегали, как мыши в мышеловке.

За воротами Ганна натолкнулась на новую неприятную сцену. Тит стоял у телеги с черемуховою палкой в руках и смотрел на подъезжавшего верхом второго сына, Макара. Лесообъездчик прогулял где-то целую ночь с товарищами и теперь едва держался в седле. Завидев отца, Макар выпрямился и расправил болтавшиеся на нем лядунки.

— Слезай, — коротко приказал Тит.

Макар, не торопясь, слез с лошади, снял шапку и подошел к отцу.

— Тятя... прости... — бормотал он и повалился в ноги.

Тит схватил его за волосы и принялся колотить своею палкой что было силы. Гибкий черемуховый прут только свистел в воздухе, а Макар даже не пробовал защищаться. Это

был красивый, широкоплечий парень, и Ганне стало до смерти его жаль.

— Будешь по ночам пропадать, а?.. — кричал на всю улицу Тит, продолжая работать палкой. — Будешь?..

— Хорошенько его, — поощрял Деян Поперешный, который жил напротив и теперь высунул голову в окошко. — От рук ребята отбиваются, глядя на хохлов. Ты его за волосья да по спине... вот так... Поболтай его хорошенько, дольше не рассохнется.

— Тятя, прости! — взвыл Макар, валяясь по земле.

Эта сцена привлекла общее внимание. Везде из окон показались туляцкие головы. Из ворот выскакивали белоголовые ребятишки и торопливо прятались назад. Общественное мнение безраздельно было за старика Тита, который совсем умаялся.

— Буде тоби хлопца увечить, — вступилась было Ганна и даже сделала попытку схватить черемуховую палку у расходившегося старика.

— Убирайся, потатчица, — закричала на нее в окошко Палагея. — Вишь выискалась

какая добрая... Вот я еще, Макарка, прибавлю тебе, иди-ка в избу-то.

— Што взяла, старая? — накинулся Деян из своего окна на Ганну. — Терешка-то придет из машинной, так ты позови меня поучить его... А то вместе с Титом придем.

Но старая Ганна уже не слушала его и торопливо шла на свою хохлацкую сторону с худыми избами и пьянчугами хозяевами.

— А бог с вами! — бормотала она, шаркая сапогами по земле. — Бо зна, що роблять...

На мосту ей попались Пашка Горбатый, шустрый мальчик, и Илюшка Рачитель, — это были закадычные друзья. Они ходили вместе в школу, а потом бегали в лес, затевали разные игры и баловались. Огороды избенки Рачителя и горбатовской избы были рядом, что и связывало ребят: вышел Пашка в огород, а уж Илюшка сидит на прясле, или наоборот. Старая Ганна пристально посмотрела на будущего мужа своей ненаглядной Федорки и даже остановилась: проворный парнишка будет, ежели бы не семья ихняя.

— Ты чего шары-то вытаращила? — оборвал ее Пашка и показал язык. — У, старая

карга… глиндра!..

Илюшка поднял ком сухой грязи и ловко запустил им в старуху.

— Оце, змееныши! — ругалась Ганна, защищая лицо рукой. — Я вас, пранцеватых… Геть, щидрики!..

— Глиндра!..

Глава 17

Мальчишки что есть духу запустили от моста домой, и зоркий Илюшка крикнул:

— Гли, Пашка, гли: важно взбулындывает отец Макарку! Даром что лесообъездчик, а только лядунки трясутся.

Сорванцы остановились в приличном отдалении: им хотелось и любопытную историю досмотреть до конца, да и на глаза старику черту не попасться, — пожалуй, еще вздует за здорово живешь.

— Айда к нам в избу, — приглашал Илюшка и перекинулся на руках прямо через прясло. — Испугался небойсь тятьки-то, а?.. Тит и тебя отвзбулындывает.

Бойкий Илюшка любил дразнить Пашку, как вообще всех богатых товарищей. В нем сказывалось завистливое, нехорошее чув-

ство, — вон какая изба у Тита, а у них какая-то гнилушка.

— Я буду непременно разбойником, как Окулко, — говорил он, толкая покосившуюся дверку в сени избушки. — Поедет богатый мужик с деньгами, а я его за горло: стой, глиндра!

— А богатый тебя по лбу треснет.

— В красной кумачной рубахе буду ходить, как Окулко, и в плисовых шароварах. Приду в кабак — все и расступятся... Разбойник Илька пришел!..

В избе жила мать Домнушки и Рачителя, глухая жалкая старуха, вечно лежавшая на печи. Мальчишки постоянно приходили подразнить ее и при случае стащить что-нибудь из съестного. Домнушка на неделе завертывала проведать мать раза три и непременно тащила с собой какой-нибудь узелок с разною господскою едой: то кусок пирога, то телятины, то целую жареную рыбу, а иногда и шкалик сладкой наливки. Старуха не прочь была выпить, причем стонала и жаловалась на свою судьбу еще больше, чем обыкновенно. Заслышав теперь шаги своих врагов, старуха

закричала на них:

— Куда вы, пострелы, лезете?.. Илюшка, это ты?

— Я, баушка Акулина.

— А с тобой кто?

— Пашка Горбатый... В гости пришли, баушка.

— Как ты сказал: в гости?.. Вот я ужо слезу с печки-то да Титу и пожалуюсь... Он вам таких гостинцев насыплет, пострелы.

Ребята обшарили всю избушку и ничего не нашли: рано пришли, а Домнушка еще не бывала.

— Этакая шлюха эта Домнушка! — тоном большого обругался Илюшка. — Отец-то куды у тебя собрался?

— А на покос... Меня хотел везти, да я убег от него. Больно злой с похмелья-то, старый черт... Всех по зубам так и чистит с утра.

Пашка старался усвоить грубый тон Илюшки, которому вообще подражал во всем, — Илюшка был старше его и везде лез в первую голову. Из избы ребята прошли в огород, где и спрятались за худою баней, — отсюда через прясло было отлично видно, как Тит

поедет на покос.

— Пашка... эй, Пашка! — кричал сердитый старик, выглядывая в свой огород. — Ужо я тебя, этово-тово... Пашка!

— Не откликайся: вздует, — подучил Илюшка.

Ребятишки прятались за баней и хихикали над сердившимся стариком. Домой он приедет к вечеру, а тогда Пашка заберется на полати в переднюю избу и мать не даст обижать.

— Эх вы, богатей! — презрительно заметил Илюшка, хватая приятеля за вихры, и прибавил с гордостью: — Третьева дни я бегал к тетке на рудник...

— К приказчице? — хихикнул Пашка, закрывая рот рукой. — Ведь Анисья с Палачом живет.

— Ну, живет... Ну, мать меня к ей посылала... Я нарочно по Кержацкому концу прошел и двух кержаков отболтал.

— Не подавись врать-то!

— Я?.. Верно тебе говорю... Ну, прихожу к тетке, она меня сейчас давай чаем угощать, а сама в матерчатом платье ходит... Шалевый платок ей подарил Палач на пасхе, да Козло-

вы ботинки, да шкатунку. Вот тебе и приказчица!

Это хвастовство взбесило Пашку, — уж очень этот Илюшка нос стал задирать... Лучше их нет, Рачителей, а и вся-то цена им: кабацкая затычка. Последнего Пашка из туляцкого благоразумия не сказал, а только подумал. Но Илюшка, поощренный его вниманием, продолжал еще сильнее хвастать: у матери двои Козловы ботинки, потом шелковое платье хочет купить и т. д.

— А откуда деньги-то? — лукаво хихикнул Пашка.

— Известно, откуда: из выручки. От Груздева небось отсчитаемся... Целую бочку на неделе-то продали.

— Вот и врешь: Окулко дает твоей матери деньги, — неожиданно заявил Пашка с убеждением.

Это заявление обескуражило Илюшку, так что он не нашелся даже, что ему ответить.

— А ты не знал, зачем Окулко к вам в кабак ходит? — не унимался Пашка, ободренный произведенным впечатлением. — Вот тебе и двои Козловы ботинки... Окулко-то ведь

жил с твоею матерью, когда она еще в девках была. Ее в хомуте водили по всему заводу... А все из-за Окулка!..

Илюшка молчал и только смотрел на Пашку широко раскрытыми глазами. Он мог, конечно, сейчас же исколотить приятеля, но что-то точно связывало его по рукам и по ногам, и он ждал с мучительным любопытством, что еще скажет Пашка. И злость, и слезы, и обидное щемящее чувство захватывали ему дух, а Пашка продолжал свое, наслаждаясь мучениями благоприятеля. Ему страстно хотелось, чтобы Илюшка заревел и даже побил бы его. Вот тебе, хвастун!

— У вас вся семья такая, — продолжал Пашка. — Домнушку на фабрике как дразнят, а твоя тетка в приказчицах живет у Палача. Деян постоянно рассказывает, как мать-то в хомуте водили тогда. Он рассказывает, а мужики хохочут. Рачитель потом как колотил твою-то мать: за волосья по улицам таскал, чересседельником хлестал... страсть!.. Вот тебе и козловы ботинки...

В это мгновение Илюшка прыжком насел на Пашку, повалил его на землю и принялся

отчаянно бить по лицу кулаками. Он был страшен в эту минуту: лицо покрылось смертельною бледностью, глаза горели, губы тряслись от бешенства. Пашка сначала крепился, а потом заревел благим матом. На крик выбежала молодая сноха Агафья, копавшая в огороде гряды, и накинулась на разбойника Илюшку.

— Ах ты, собачье мясо! — кричала она, стараясь разнять катавшихся по земле ребятишек, но ничего не могла поделать и бросилась за помощью в избу.

Расстервенившийся Илюшка ничего не сознавал, — он точно одеревенел, вцепившись в обидчика. Прибежавшая старуха Палагея ударила его по спине палкой, а старшая сноха ухватила за волосы, но Илюшка не выпускал хрипевшего Пашки и ругал баб нехорошими словами. Только появление Макарки прекратило побоище: он, как кошку, отбросил Илюшку в сторону и поднял с земли жениха Федорки в самом жалком виде, — лицо было в крови, губы распухли. На шум выползла из своей избушки даже бабушка Акулина, на которую и накинулась Палагея, — Илюшка уже

давно летел по улице к кабаку.

— Сейчас видно разбойничье-то отродье... — корила Палагея, размахивая руками. — Вот навязались суседи, прости господи!

— Ну, вы, бабы: будет! — окрикнул Макар, дал затрещину хныкавшему Пашке и, пошатываясь, пошел домой.

Высокая, здоровая старуха Палагея долго не могла успокоиться. Поругавшись с бабушкой Акулиной, она цыкнула на снох, стоявших у прясла с разинутыми ртами, и с ворчаньем, как медведица, побрела к своему двору. В пестрядинном сарафане своей домашней работы из домашнего холста, она имела что-то внушительное, а старушечье лицо смотрело серыми глазами так строго и холодно. Старшая сноха, красивая толстая баба, повязанная кумачным платком, высоко подтыкала свой будничный сарафан и, не торопясь, тоже пошла домой, — она по очереди сегодня управлялась в избе. Младшая сноха, Агафья, белобрысая бабенка с узкими и покатыми плечами, следовала за ней по пятам, чтобы не попадаться на глаза рассерженной свекрови. Она не пошла к своей гряде, где в борозде ва-

лялась брошенная второпях лопатка, а поскорее нырнула в ворота и спряталась от старухи в конюшне.

Пашка в семье Горбатого был младшим и поэтому пользовался большими льготами, особенно у матери. Снохи за это терпеть не могли баловня и при случае натравляли на него старика, который никому в доме спуску не давал. Да и трудно было увернуться от родительской руки, когда четыре семьи жались в двух избах. О выделе никто не смел и помышлять, да он был и немыслим: тогда рухнуло бы все горбатовское благосостояние.

Макар ушел к себе в заднюю избу, где его жена Татьяна стирала на ребят. Он все еще не мог прочухаться от родительской трепки и недружелюбно смотрел на широкую спину безответной жены, взятой в богатую семью за свою лошадиную силу.

— Это ты нажалилась отцу? — придирался Макар к жене, едва удерживаясь от желания хлобыснуть Татьяну по спине.

— Штой-то, Макар, все ты присыкаешься ко мне... — слезливо ответила несчастная баба, инстинктивно убирая свою спину от за-

махнувшегося кулака.

— У, ведьма!.. — рычал Макар, тыкая жену в бок.

Та схватилась за «убитое» место и жалко захныкала, что еще сильнее рассердило Макара, и он больно ударил жену ногой прямо в живот.

Положение Татьяны в семье было очень тяжелое. Это было всем хорошо известно, но каждый смотрел на это, как на что-то неизбежное. Макар пьянствовал, Макар походя бил жену, Макар вообще безобразничал, но где дело касалось жены — вся семья молчала и делала вид, что ничего не видит и не слышит. Особенно фальшивили в этом случае старики, подставлявшие несчастную бабу под обух своими руками. Когда соседки начинали приставать к Палагее, она подбирала строго губы и всегда отвечала одно и то же:

— Промежду мужем и женой один бог судья...

Даже сегодняшняя проволочка Макару, заданная от старика, имела более хозяйственный интерес, а не нравственный: он его бил не как плохого мужа, а как плохого члена се-

мьи, баловавшего на стороне на неизвестные деньги. Старший сын, Федор, был смирный и забитый мужик, не могший служить опорой дому в качестве большака. Когда пришлось женить Макара, горбатовская семья была большая, но всё подростки или ребята, так что у Палагеи со старшею снохой «управа не брала». Нужно было взять работящую, безответную бабу, какую сам Тит и подыскал в лице Татьяны. Макар, конечно, знал отлично эти домашние расчеты и все-таки женился, не смея перечить родительской воле. Пока семья крепла и разрасталась, Татьяна была необходима для работы, — баба «воротила весь дом», — но когда остальные дети подросли и в дом взяли третью сноху, Агафью, жену четвертого сына, Фрола, честь Татьяне сразу отошла. Три снохи управятся с каким угодно хозяйством, и в ней не было теперь особенной необходимости. Вместе с приливавшим довольством явились и новые требования: Агафью взяли уже из богатого дома, — значит, ею нельзя было так помыкать, как Татьяной, да и работать по-настоящему еще нужно было учить. Выходило так, что Татьяна своим

слишком рабочим видом точно конфузила горбатовскую семью, особенно наряду с другими снохами, и ее держали в черном теле, как изработавшуюся скотину, какая околачивается по задним дворам на подножном корму.

Были у Горбатого еще два сына: один — Артем, муж Домнушки, женившийся на ней «по соседству», против родительской воли, а другой — учитель Агап. Артем ушел в солдаты. Считая сыновей, Тит откладывал всего пять пальцев и откидывал Агапа, как отрезанный ломоть. Да и какой это человек для семьи: учитель заводской народной школы? Еще был бы служащий или просто попал куда «на доходы», как лесообъездчик Макар, тогда другое дело, а то учитель — последнее дело. Братья подшучивали над пьяницей Агапом, как над посторонним человеком, и в грош его не ставили. Даже большак Федор, околачивавшийся в доменной печи подсыпкой, и тот чувствовал свое превосходство. Агап и Домнушка совсем были исключены из семьи, как чужие, потому что от них не было дому никакой пользы.

Семья Тита славилась как хорошие, исправные работники. Сам старик работал всю жизнь в куренях, куда уводил с собой двух сыновей. Куренная работа тяжелая и ответственная, потом нужно иметь скотину и большое хозяйственное обзаведение, но большие туляцкие семьи держались именно за нее, потому что она представляла больше свободы, — в курене не скоро достанешь, да и как уследишь за самою работой? На дворе у Тита всегда стояли угольные коробья, дровни и тому подобная углепоставщицкая снасть.

Глава 18

Когда у кабака Дуньки Рачителихи стояла сивая кобыла, все знали, что в кабаке засел Морок. Эта кобыла ходила за хозяином, как собака, и Морок никогда ее не кормил: если захочет жрать, так и сама найдет. Сейчас кобыла стояла у кабака, понурив голову и сонно моргая глазами, а Морок сидел у стойки с учителем Агапом и Рачителем. Сегодня происходило великое торжество: друзья делали вспрыски по поводу отправления Морока в пасево. Единственный заводский вор знал только одну работу: пасти лошадей. Это был

каторжный и крайне ответственный труд, но Морок пользовался громкою репутацией лучшего конского пастуха. Ключевляне доверялись ему на основании принципа, что если уж кто убережет, так, конечно, сам вор. У Морока был свой гонор, и в течение лета он оставался почти честным человеком, за исключением мелких краж где-нибудь на покосе. Получив задаток, Морок первым делом, конечно, отправился в кабак, где его уже дожидались благоприятели.

— Молодец ты, Морок!.. — льстиво повторял учитель Агап. — Найди-ка другого такого конского пастуха...

— Это ты верно... — поддакивал захмелевший прежде других Рачитель.

— У меня в позапрошлом году медведь мою кобылу хватал, — рассказывал Морок с самодовольным видом. — Только и хитра скотинка, эта кобыла самая... Он, медведь, как ее облапит, а она в чащу, да к озеру, да в воду, — ей-богу!.. Отстал ведь медведь-то, потому удивила его кобыла своею догадкой.

«Три пьяницы» вообще чувствовали себя прекрасно, что бесило Рачителиху, несколько

раз выглядывавшую из дверей своей каморки в кабак. За стойкой управлялся один Илюшка, потому что днем в кабаке народу было немного, а набивались к вечеру. Рачителиха успевала в это время управиться около печи, прибрать ребятишек и вообще повернуть все свое бабье дело, чтобы вечером уже самой выйти за стойку.

— Илюшка, ты смотри за отцом-то, — наставляла она детище. — Куды-нибудь отвернешься, а он как раз полштоф и стащит...

Илюшка упорно отмалчивался, что еще больше злило Рачителиху. С парнишкой что-то сделалось: то молчит, то так зверем на нее и смотрит. Раньше Рачителиха спускала сыну разные грубые выходки, а теперь, обозленная радовавшимися пьяницами, она не вытерпела.

— Ты чего молчишь, как пень? — накинулась она на Илюшку. — Кому говорят-то?.. Недавно оглох, так не можешь ответить матери-то?

Илюшка продолжал молчать; он стоял спиной к окну и равнодушно смотрел в сторону, точно мать говорила стене. Это уже окон-

чательно взбесило Рачителиху. Она выскочила за стойку и ударила Илюшку по щеке. Мальчик весь побелел от бешенства и, глядя на мать своими большими темными глазами, обругал ее нехорошим мужицким словом.

— Ах ты, змееныш!..

Рачителиха вся затряслась от бешенства и бросилась на сына, как смертельно раненная медведица. Она сбила его с ног и таскала по полу за волосы, а Илюшка в это время на весь кабак выкрикивал все, что слышал от Пашки Горбатого про Окулка.

— Будь же ты от меня проклят, змееныш! — заголосила Рачителиха, с ужасом отступая от своей взбунтовавшейся плоти и крови. — Не тебе, змеенышу, родную мать судить...

Остервенившийся Илюшка больно укусил ей палец, но она не чувствовала боли, а только слышала проклятое слово, которым обругал ее Илюшка. Пьяный Рачитель громко хохотал над этою дикою сценой и кричал сыну:

— Валяй ее, Илюшка!..

Опомнившись от потасовки и поощренный отцом, Илюшка опять обругал мать, но

не успел он докончить ругани, как чья-то могучая рука протянулась через стойку, схватила его и подняла за волосы.

— Давай веревку, Дуня... — хрипло говорил Морок, выхвативший Илюшку из-за стойки, как годовалого щенка. — Я его поучу, как с матерью разговаривать.

Рачителиха бросилась в свою каморку, схватила опояску и сама принялась крутить Илюшке руки за спину. Озверевший мальчишка принялся отчаянно защищаться, ругал мать и одною рукой успел выхватить из бороды Морока целый клок волос. Связанный по рукам и ногам, он хрипел от злости.

— Ну, и зверь! — удивлялся Морок, показывая Рачителихе укушенный палец.

В этот момент подкатил к кабаку, заливаясь колокольчиками, экипаж Груздева. Войдя в кабак, Самойло Евтихыч нашел Илюшку еще связанным. Рачителиха так растерялась, что не успела утащить связанного хоть за стойку.

— Кто это тебя так стреножил, мальчуга? — весело спрашивал Груздев, узнавший Илюшку.

Это участие растрогало Рачителиху, и она залилась слезами. Груздев ее любил, как разбитную шинкарку, у которой дело горело в руках, — ключевской кабак давал самую большую выручку. Расспросив, в чем дело, он только строго покачал головой.

— Ну, дело дрянь, Илюшка, — строго проговорил Груздев. — Надо будет тебя и в сам-деле поучить, а матери где же с тобой справиться?.. Вот что скажу я тебе, Дуня: отдай ты его мне, Илюшку, а я из него шелкового сделаю. У меня, брат, разговоры короткие.

— Самойло Евтихыч, будь отцом родным! — причитала Рачителиха, бросаясь в ноги благодетелю. — Бога за тебя буду молить, ежели возьмешь его.

— Встань, Дуня... — ласково говорил Груздев, поднимая ревевшую неладом бабу. — Золотые у тебя руки, кабы вон не твой-то сахар...

Груздев мотнул головой на Рачителя и поморщился.

— Ну, давай счеты.

К особенностям Груздева принадлежала феноменальная память. На трех заводах он

почти каждого знал в лицо и мог назвать по имени и отчеству, а в своих десяти кабаках вел счеты на память, без всяких книг. Так было и теперь. Присел к стойке, взял счеты в руки и пошел пощелкивать, а Рачителиха тоже на память отсчитывалась за две недели своей торговли. Разница вышла в двух полуштофах.

— Это уж мне в жалованье накинь, Самойло Евтихыч, — печально проговорила Рачителиха. — Моя неустойка.

— Рачитель выпил? — коротко спросил Груздев и, поморщившись, скостил два украденных Рачителем полуштофа. — Ну, смотри, чтобы вперед у меня этого не было... не люблю.

— И то рук не покладаючи бьюсь, Самойло Евтихыч, а где же углядеть; тоже какое ни на есть хозяйство, за робятами должна углядеть, а замениться некем.

— Знаю, знаю, Дунюшка... Не разорваться тебе в сам-то деле!.. Руки-то твои золотые жалею... Ну, собирай Илюшку, я его сейчас же и увезу с собой на Самосадку.

Все время расчета Илюшка лежал связанный посреди кабака, как мертвый. Когда Груз-

дев сделал знак, Морок бросился его развязывать, от усердия к благодетелю у него даже руки дрожали, и узлы он развязывал зубами. Груздев, конечно, отлично знал единственного заводского вора и с улыбкой смотрел на его широчайшую спину. Развязанный Илюшка бросился было стремглав в открытую дверь кабака, но здесь попал прямо в лапы к обережному Матюшке Гущину.

— Подержи его малым делом, Матюшка, — приказывал Груздев.

Сборы Илюшки были окончены в пять минут: две новых рубахи, новые сапоги и суконное пальтишко были связаны в один узел и засунуты в повозку Груздева под козла. Рачителиха, заливаясь слезами, остановилась в дверях кабака.

— Перестань, Дуня, — ласково уговаривал ее Груздев и потрепал по плечу. — Наши самосадские старухи говорят так: «Маленькие детки матери спать не дают, а большие вырастут — сам не уснешь». Ну, прощай пока, горюшка.

Так как место около кучера на козлах было занято обережным, то Груздев усадил

Илюшку в экипаж рядом с собой.

— Вот ужо я тебе задам, — ворчал он, засовывая себе за спину дорожную кожаную подушку.

Лихо рванула с места отдохнувшая тройка в наборной сбруе, залились серебристым смехом настоящие валдайские колокольчики, и экипаж птицей полетел в гору, по дороге в Самосадку. Рачителиха стояла в дверях кабака и причитала, как по покойнике. Очень уж любила она этого Илюшку, а он даже и не оглянулся на мать.

Целый день проревела Рачителиха, оплакивая свое ненаглядное детище. К вечеру народу в кабаке набралось много, и она торговала с опухшими от слез глазами. Урвется свободная минутка, и Рачителиха где-нибудь в уголке припадет своею горькою головой и зальется рекой. Она ли не любила, она ли не лелеяла Илюшку, а он первый поднял на нее свою детскую руку! Этот случай поднял в ее душе все прошлое, которое довело ее до кабацкой стойки. Родом она была из богатого туляцкого дома и рано заневестилась. От женихов не было отбоя, а пока отец с матерью

думали да передумывали, кого выбрать в зятья, она познакомилась на покосе в страду с Окулком, и эта встреча решила ее судьбу. Окулко тогда не был разбойником и работал на фабрике, как один из лучших кричных мастеров, — сам Лука Назарыч только любовался, когда Окулко вытягивал под молотом полосу. Видный был парень Окулко и содержал всю семью, да попутал его грех: наткнулся он на Палача-отца. За какую-то провинность Окулко послан был на исправление в медную гору (лучшие мастера не избегали этого наказания). Когда дело дошло до плетей, Окулко с ножом бросился на Палача и зарезал бы его, да спасли старика большие старинные серебряные часы луковицей: нож изгадал по часам, и Палач остался жив. Окулко бежал в горы, где и присоединился к другим крепостным разбойникам, как Беспалый, бегавший от рекрутчины. Этим и закончился роман Дуни. Чтобы смотать дочь с рук, отец подыскал ей самого завалящего жениха — Рачителя, который за двадцать рублей взялся прикрыть венцом девичий грех.

Избывая дочь, старики просчитались и не

ушли от срама. Страшное это было дело, когда оба конца, Туляцкий и Хохлацкий, сбежались смотреть на даровой позор невесты с провинкой. Самая свадьба походила на похороны. На другой день, когда свахи подняли молодых, мужняя родня накинулась на молодую. На Дуньку надели лошадиный хомут и в таком виде водили по всему заводу. Как бил жену Рачитель — это знала она одна. Этот стыд и мужнины побои навеки озлобили Дунькину душу, и она два раза пыталась «стравить мужа», хотя последний и уцелел благодаря слишком большим приемам яда. Конечно, Рачитель бил жену насмерть, пока не спился окончательно с круга. Она взяла, наконец, верх над мужем-пропойцей, отвоевав право существования, и села в кабак.

Когда родился первый ребенок, Илюшка, Рачитель избил жену поленом до полусмерти: это было отродье Окулка. Если Дунька не наложила на себя рук, то благодаря именно этому ребенку, к которому она привязалась с болезненною нежностью, — она все перенесла для своего любимого детища, все износила и все умела забыть. Много лет прошло, и

только сегодняшний случай поднял наверх старую беду. Вот о чем плакала Рачителиха, проводив своего Илюшку на Самосадку.

Когда в сумерки в кабак задами прибежала Домнушка, ловившая Спирьку Гущина, она долго утешала убивавшуюся Рачителиху своими бессмысленными бабьими наговорами, какими знахарки унимают кровь. По пути свои утешения она пересыпала разными новостями, каких всегда приносила с собой целый ворох.

— А наши-то тулянки чего придумали, — трещала участливо Домнушка. — С ног сбились, всё про свой хлеб толкуют. И всё старухи... С заводу хотят уезжать куда-то в орду, где земля дешевая. Право... У самих зубов нет, а своего хлеба захотели, старые... И хохлушек туда же подманивают, а доведись до дела, так на снохах и поедут. Удумали!.. Воля вышла, вот все и зашевелились: кто куда, — объясняла Домнушка. — Старики-то так и поднялись, особенно в нашем Туляцком конце.

— Это мужикам воля вышла, Домнушка, а не бабам, — грустно ответила Рачителиха.

Глава 19

Обыкновенно фабрику останавливали после Петрова дня до успенья: это была заводская страда. Нынче всякое заводское действие остановилось само собой двумя месяцами раньше. Главная контора в Мурмосе сделала распоряжение не начинать работ до осени, чтобы дать народу одуматься и самим тоже подумать. Все заводское управление было связано по рукам и ногам распоряжениями петербургской конторы, где тоже думали. Таким образом, заводские служащие получили полную свободу до осени. Мухин воспользовался этим временем, чтобы помириться с матерью.

— Нюрочка, мы поедем в Самосадку, — весело объявил он дочери. — Бабушку свою увидишь.

До Самосадки было верст двадцать с небольшим. Рано утром дорожная повозка, заложенная тройкой, ждала у крыльца господского дома. Кучер Семка несколько раз принимался оправлять лошадей, садился на козла, выравнивал вожжи и вообще проделывал необходимые предварительные церемонии настоящего господского кучера. Антип и

казачок Тишка усердно ему помогали. Особенно хлопотал последний: он выпросился тоже ехать на пристань и раз десять пробовал свое место рядом с Семкой, который толкал его локтем.

— Какая отличная погода, папа, — лепетала Нюрочка, когда они усаживались, наконец, в экипаж. — На деревьях уж листочки развернулись... травка зеленая... цветы.

Катря и Домнушка все-таки укутали барышню в большую шаль, ноги покрыли одеялом, а за спину насовали подушек. Но и это испытание кончилось, — Антип растворил ворота, и экипаж весело покатил на Самосадку. Мелькнула контора, потом фабрика, дальше почерневшие от дыма избушки Пеньковки, высокая зеленая труба медного рудника, прогремел под колесами деревянный мост через Березайку, а дальше уже начинался бесконечный лес и тронутые первою зеленью лужайки. Дорога от р. Березайки пошла прямо в гору.

— Эвон дядя Никитич лопочет по стороне, — проговорил Тишка, оборачивая свое улыбавшееся, счастливое лицо.

Никитич шел с кучкой кержанок. Он был одет по-праздничному: в плисовые шаровары, в красную рубаху и суконный черный халат. На голове красовалась старинная шелковая шляпа вроде цилиндра, — в Ключевском заводе все раскольники щеголяли в таких цилиндрах. Только сапоги Никитич пожалел, он шел босиком, а новые сапоги болтались за плечами, перекинутые на дорожную палку. Троица — годовой праздник на Самосадке, и Никитич выпросился погулять. Когда экипаж поровнялся, Никитич весело приподнял свой цилиндр наотлет и крикнул:

— Гулять на Самосадку, Петр Елисеич, родимый мой!

Попадались и другие пешеходы, тоже разодетые по-праздничному. Мужики и бабы кланялись господскому экипажу, — на заводах рабочие привыкли кланяться каждой фуражке. Все шли на пристань. Николин день считался годовым праздником на Ключевском, и тогда самосадские шли в завод, а в троицу заводские на пристань. Впрочем, так «гостились» одни раскольники, связанные родством и многолетнею дружбой, а мочегане остава-

лись сами по себе.

— И дочь Оленку дядя-то повел на пристань, — сообщил Тишка. — Девчонка махонькая, по восьмому году, а он ее волокет... Тоже не от ума человек!

С Никитичем действительно торопливо семенила ножками маленькая девочка с большими серыми глазами и серьезным не по летам личиком. Когда она уставала, Никитич вскидывал ее на одну руку и шел с своею живою ношей как ни в чем не бывало. Эта Оленка очень заинтересовала Нюрочку, и девочка долго оглядывалась назад, пока Никитич не остался за поворотом дороги.

На половине дороги обогнали телегу, в которой ехал старик Основа с двумя маленькими дочерями, а потом другую телегу, в которой лежали и сидели брательники Гущины. Лошадью правила их сестра Аграфена, первая заводская красавица.

— Куды телят-то повезла, Аграфена? — спрашивал Семка, молодцевато подтягиваясь на козлах; он частенько похаживал под окнами гущинской избы, и Спирька Гущин пообещался наломать ему шею за такие прогулки.

— Бороться едут, — объяснил Тишка. — Беспременно на пристани круг унесут, ежели Матюшка Гущин не напьется до поры. Матюшка с Груздевым третьева дни проехали на Самосадку.

Нюрочка всю дорогу щебетала, как птичка. Каждая горная речка, лужок, распустившаяся верба — все ее приводило в восторг. В одном месте Тишка соскочил с козел и сорвал большой бледножелтый цветок с пушистою мохнатою ножкой.

— Ах, какой славный цветок! Папа, как он называется?.. Ветреница? Какое смешное название!..

Вон там еще желтеют ветреницы — это первые весенние цветы на Урале, с тонким ароматом и меланхолическою окраской. Странная эта детская память: Нюрочка забыла молебен на площади, когда объявляли волю, а эту поездку на Самосадку запомнила хорошо и, главным образом, дорогу туда. Стоило закрыть глаза, как отчетливо представлялся Никитич с сапогами за спиной, улыбавшийся Тишка, телега с брательниками Гущиными, которых Семка назвал телятами, первые ве-

сенние цветы.

— Эвон она, Самосадка-то! — крикнул Семка, осаживая взмыленную тройку на глинистом косогоре, где дорога шла корытом и оставленные весеннею водой водороины встряхивали экипаж, как машинку для взбивания сливочного масла.

Под горой бойкая горная река Каменка разлилась широким плесом, который огибал круглый мыс, образовавшийся при впадении в нее Березайки, и там далеко упиралась в большую гору, спускавшуюся к воде желтым открытым боком. Жило,[382] раскинуто было на этом круглом мысу, где домишки высыпали, точно стадо овец. Из общей массы построек крупными зданиями выделялись караванная контора с зеленою железною крышей и дом Груздева, грузно присевший к земле своими крепкими пристройками из кондового старинного леса. За избами сейчас же тянулись ярко зеленевшие «перемены»[383] огороженные легкими пряслами. На Самосадке народ жил справно, благо сплав заводского каравана давал всем работу: зимой рубили лес и строили барки, весной сплавляли караван,

а остальное время шло на свои домашние работы, на перевозку металлов из Ключевского завода и на куренную работу. Самосадка была основана раскольничьими выходцами с реки Керженца и из Выгорецких обителей, когда Мурмосских заводов еще и в помине не было. Весь Кержацкий конец в Ключевском заводе образовался из переселенцев с Самосадки, поэтому между заводом и пристанью сохранялись неразрывные, кровные сношения.

Кучер не спрашивал, куда ехать. Подтянув лошадей, он лихо прокатил мимо перемен, проехал по берегу Березайки и, повернув на мыс, с шиком въехал в открытые ворота груздевского дома, глядевшего на реку своими расписными ставнями, узорчатою вышкой и зеленым палисадником. Было еще рано, но хозяин выскочил на крыльцо в шелковом халате с болтавшимися кистями, в каком всегда ходил дома и даже принимал гостей.

— Вот это уж настоящий праздник!.. — кричал Груздев, вытаскивая из экипажа Нюрочку и целуя ее на лету. — Ай да Петр Елисеич, молодец... Давно бы так-то собраться!

На звон колокольчиков выбежал Вася, пропадавший по целым дням на голубятне, а Матюшка Гущин, как медведь, навьючил на себя все, что было в экипаже, и потащил в горницы.

— Ты повозку-то хоть оставь, черт деревянный!.. — огрызнулся на него Семка. — Право, черт, как есть...

— Вот что, Матвей, — заговорил Мухин, останавливая обережного, — ты сходи за братом Егором...

Матюшка с медвежьею силой соединял в себе великую глупость, поэтому остановился и не знал, что ему делать: донести приказчичьи пожитки до горницы или бросить их и бежать за Егором...

— Тащи, чего встал? — окрикнул его Груздев, втащивший Нюрочку на крыльцо на руках. — Петр Елисеич, еще успеется... куда торопиться?.. Ну, Нюрочка, пойдем ко мне в гости.

Дом у Груздева был поставлен на славу. В два этажа с вышкой, он точно оброс какими-то переходами, боковушками и светелками, а дальше шли громадные амбары, ко-

нюшни, подсарайные, людские и сеновалы. Громадный двор был закрыт только наполовину, чтобы не отнимать света у людской. Комнаты в доме были небольшие, с крашеными потолками, вылощенными полами и пестрыми обоями. Хорошая мебель была набита везде, так что трудно было ходить. Нюрочку особенно удивили мягкие персидские ковры и то, что решительно все было выкрашено. В горницах встретила гостей жена Груздева, полная и красивая женщина с белым лицом и точно выцветшими глазами.

— Милости просим, дорогие гости! — кланялась она, шумя тяжелым шелковым сарафаном с позументами и золотыми пуговицами.

Вася вертелся около матери и показывал дорогой гостье свои крепкие кулаки, что ее очень огорчало: этот мальчишка-драчун отравил ей все удовольствие поездки, и Нюрочка жалась к отцу, ухватив его за руку.

— Забыли вы нас, Петр Елисеич, — говорила хозяйка, покачивая головой, прикрытой большим шелковым платком с затканными по широкой кайме серебряными цветами. —

Давно не бывали на пристани! Вон дочку вырастили...

— Давненько-таки, Анфиса Егоровна, — отвечал Мухин, размахивая по своей привычке платком. — Много новых домов, лес вырубили...

Анфиса Егоровна опять качала головой, как фарфоровая кукла, и гладила ненаглядное дитятко, Васеньку, по головке.

Пока пили чай и разговаривали о разных пустяках, о каких говорят с дороги, обережной успел сходить за Егором и доложил, что он ждет на дворе.

— Что же ты не ввел его в горницы? — смутился Груздев. — Ты всегда так... Никуда послать нельзя.

— Я его звал, да он уперся, как пень, Самойло Евтихыч.

Мухин вышел на крыльцо, переговорил с Егором и, вернувшись в горницу, сказал Нюрочке:

— Теперь ты ступай к бабушке... Дядя Егор тебя проводит.

Девочка пытливо посмотрела на отца и, догадавшись, что ее посылают одну, капризно

надула губки и решительно заявила, что одна не пойдет. Ее начали уговаривать, а Анфиса Егоровна пообещала целую коробку конфет.

— Нельзя же, Нюрочка, упрямиться... Нужно идти к бабушке. Ручку у ней поцелуй... Нужно стариков уважать.

Поупрямившись, Нюрочка согласилась. Егор дожидался ее во дворе. Он пошел впереди, смешно болтая на ходу руками, а она легкою походкой шла за ним. Соломенная шляпа с выцветшими лентами обратила на себя общее внимание самосадских ребятишек, которые тыкали на нее пальцами и говорили какие-то непонятные слова. Нюрочка боялась, что Вася догонит ее и прибьет, поэтому особенно торопливо семенила своими крошечными ножками в прюнелевых ботинках. Они шли по береговой улице, мимо больших бревенчатых изб с высокими коньками, маленькими оконцами и шатровыми воротами. Около одной из таких изб Егор остановился, отворил калитку и пропустил девочку вперед.

— Иди сюда, деушка, — послышался в темноте крытого двора знакомый ласковый голос. — Не бойсь, голубушка, иди прямо.

Это была начетчица Таисья, которая иногда завертывала в господский дом на Ключевском. Она провела Нюрочку в избу, где у стола в синем косоклинном сарафане сидела худая и сердитая старуха.

— Здоровайся с баушкой... здоровайся хорошенько... — шептала Таисья своим ласковым голосом и тихонько подталкивала девочку к неподвижно сидевшей старухе.

Нюрочке вдруг сделалось страшно: старуха так и впилась в нее своими темными, глубоко ввалившимися глазами. Вспомнив наказ Анфисы Егоровны, она хотела было поцеловать худую и морщинистую руку молчавшей старухи, но рука Таисьи заставила ее присесть и поклониться старухе в ноги.

— Говори: «здравствуй, баушка», — нашептывала старуха, поднимая опешившую девочку за плечи. — Ну, чего молчишь?

Старуха сделала какой-то знак головой, и Таисья торопливо увела Нюрочку за занавеску, которая шла от русской печи к окну. Те же ловкие руки, которые заставили ее кланяться бабушке в ноги, теперь быстро расплетали ее волосы, собранные в две косы.

— Ах, Нюрочка, Нюрочка, кто это тебя по бабьи-то чешет?.. — ворчала Таисья, переплетая волосы в одну косу. — У деушки одна коса бывает. Вот так!.. Не верти головкой, а то баушка рассердится...

Чтобы удобнее управиться с работой, Таисья поставила ее на лавку и только теперь заметила, что из-под желтенькой юбочки выставляются кружева панталон, — вот увидала бы баушка-то!.. Таисья торопливо сняла панталоны и спрятала их куда-то за пазуху. Девичья коса была готова, хотя Нюрочка едва крепилась от боли: постаравшаяся Таисья очень туго закрутила ей волосы на затылке. Все эти церемонии были проделаны так быстро, что девочка не успела даже подумать о сопротивлении, а только со страхом ждала момента, когда она будет целовать руку у сердитой бабушки.

Но последнего не пришлось делать. Старуха сама пришла за занавеску, взяла Нюрочку и долго смотрела ей в лицо, а потом вдруг принялась ее крестить и горько заплакала.

— Своя родная кровь, а половина-то басурманская... — шептала старуха, прижимая к се-

бе внучку. — И назвали-то как: Нюрочка… Ты будешь, внучка, Аннушкой!

Старуха села на лавку, посадила внучку на колени и принялась ласкать ее с каким-то причитаньем. Таисья притащила откуда-то тарелку с пряниками и изюмом.

— Ах ты, моя ластовочка… ненаглядная… — шептала бабушка, жадно заглядывая на улыбавшуюся девочку. — Привел господь увидеть внучку… спокойно умру теперь…

— Бабушка, вы о чем это плачете? — решилась, наконец, спросить Нюрочка, преодолевая свой страх.

— От радости, милушка… от великой радости, ластовочка! Услышал господь мои старые слезы, привел внученьку на коленках покачать…

Таисья отвернулась лицом к печи и утирала слезы темным ситцевым передником.

Глава 20

— Папа, папа идет! — закричала Нюрочка, заслышав знакомые шаги в темных сенях, и спрыгнула с коленей бабушки.

Старуха сейчас же приняла свой прежний суровый вид и осталась за занавеской. Выско-

чившая навстречу гостю Таисья сделала рукой какой-то таинственный знак и повела Мухина за занавеску, а Нюрочку оставила в избе у стола. Вид этой избы, полной далеких детских воспоминаний, заставил сильно забиться сердце Петра Елисеича. Войдя за занавеску, он поклонился и хотел обнять мать.

— В ноги, в ноги, басурман! — строго закричала на него старуха. — Позабыл порядок-то, как с родною матерью здороваться...

Услужливая Таисья заставила Мухина проделать эту раскольничью церемонию, как давеча Нюрочку, и старуха взяла сына за голову и, наклоняя ее к самому полу, шептала:

— В землю, в землю, дитятко... Не стыдись матери-то кланяться. Да скажи: прости, родимая маменька, меня, басурмана... Ну, говори!

— Мать, к чему это? — заговорил было Мухин, сконфуженный унизительною церемонией. — Неужели нельзя просто?

— А, так ты вот как с матерью-то разговариваешь!.. — застонала старуха, отталкивая сына. — Не надо, не надо... не ходи... Не хочешь матери покориться, басурман.

Мать и сын, наверное, опять разошлись

бы, если бы не вмешалась начетчица, которая ловко, чисто по-бабьи сумела заговорить упрямую старуху.

— Ты как дочь-то держишь? — все еще ворчала старуха, напрасно стараясь унять расходившееся материнское сердце. — Она у тебя и войти в избу не умеет... волосы в две косы по-бабьи... Святое имя, и то на басурманский лад повернул.

— Прости его, баушка! — уговаривала Таисья. — Грешно сердиться.

— Басурманку-то свою похоронил? — пытала старуха. — Сказала тогда, што не будет счастья без родительского благословения... Оно все так и вышло!

— Мать, опомнись, что ты говоришь? — застонал Мухин, хватаясь за голову. — Неужели тебя радует, что несчастная женщина умерла?.. Постыдись хоть той девочки, которая нас слушает!.. Мне так тяжело было идти к тебе, а ты опять за старое... Мать, бог нас рассудит!

— А зачем от старой веры отшатился? Зачем с бритоусами да табашниками водишься?.. Вот бог-то и нашел тебя и еще найдет.

— Будет вам грешить-то, — умоляла начетчица, схватив обоих за руки. — Перестаньте, ради Христа! Столько годов не видались, а тут вон какие разговоры подняли... Баушка, слышишь, перестань: тебе я говорю?

Строгий тон Таисьи вдруг точно придавил строгую старуху: она сразу размякла, как-то вся опустилась и тихо заплакала. Показав рукой за занавеску, она велела привести девочку и, обняв ее, проговорила упавшим голосом:

— Вот для нее, для Аннушки, прощаю тебя, Петр Елисеич... У ней еще безгрешная, ангельская душенька...

— Папа, и тебя заставляли в ноги кланяться? — шептала Нюрочка, прижимаясь к отцу. — Папа, ты плакал?

— Да, голубчик... от радости...

— И бабушка тоже от радости плачет?

— И бабушка от радости...

Примирение, наконец, состоялось, и Мухин почувствовал, точно у него гора с плеч свалилась. Мать он любил и уважал всегда, но эта ненависть старухи к его жене-басурманке ставила между ними непреодолимую преграду, — нужно было несчастной умереть,

чтобы старуха успокоилась. Эта последняя мысль отравляла те хорошие сыновние чувства, с какими Мухин переступал порог родной избы, а тут еще унизительная церемония земных поклонов, попреки в отступничестве и целый ряд мелких и ничтожных недоразумений. Старуха, конечно, не виновата, но он не мог войти сюда с чистою душой и искреннею радостью. Наконец, ему было просто совестно перед Нюрочкой, которая так умненько наблюдала за всем своими светлыми глазками.

— Пойдем теперь за стол, так гость будешь, — говорила старуха, поднимаясь с лавки. — Таисьюшка, уж ты похлопочи, а наша-то Дарья не сумеет ничего сделать. Простая баба, не с кого и взыскивать...

Егор с женой Дарьей уже ждали в избе. Мухин поздоровался со снохой и сел на лавку к столу. Таисья натащила откуда-то тарелок с пряниками, изюмом и конфетами, а Дарья поставила на стол только что испеченный пирог с рыбой. Появилась даже бутылка с наливкой.

— Не хлопочите, пожалуйста... — просил

Мухин, стеснявшийся этим родственным угощением. — Я рад так посидеть и поговорить с вами.

Мухина смущало молчание Егора и Дарьи, которые не решались даже присесть.

— Не велики господа, и постоят, — заметила старуха, когда Мухин пригласил всех садиться. — Поешь-ка, Петр Елисеич, нашей каменской рыбки: для тебя и пирог стряпала своими руками.

Мухин внимательно оглядывал всю избу, которая оставалась все такою же, какою была сорок лет назад. Те же полати, та же русская печь, тот же коник у двери, лавки, стол, выкрашенный в синюю краску, и в переднем углу полочка с старинными иконами. Над полатями висело то же ружье, с которым старик отец хаживал на медведя. Это было дрянное кремневое тульское ружье с самодельною березовою ложей; курок был привязан ремешками. Вся нехитрая обстановка крестьянской избы сохранилась до мельчайших подробностей, точно самое время не имело здесь своего разрушающего влияния.

— Ты, Егор, ходишь с ружьем? — спраши-

вал Мухин, когда разговор прервался.

— А так, в курене когда балуюсь...

— Ты его мне отдай, а я тебе подарю другое.

— Как матушка прикажет: ее воля, — покорно ответил Егор и переглянулся с женой.

— На што его тебе, ружье-то? — спрашивала старуха, недоверчиво глядя на сына.

— Так, на память об отце... А Егору я хорошее подарю, пистонное.

— Нет, уж пусть лучше это остается... Умру, тогда делите, как знаете.

Некрасивая Дарья, видимо, разделяла это мнение и ревниво поглядела на родительское ружье. Она была в ситцевом пестреньком сарафане и белой холщовой рубашке, голову повязывала коричневым старушечьим платком с зелеными и синими разводами.

— Я так сказал, матушка, — неловко оправдывался Мухин, поглядывая на часы. — У меня есть свои ружья.

В избу начали набиваться соседи, явившиеся посмотреть на басурмана: какие-то старухи, старики и ребятишки, которых Мухин никогда не видал и не помнил. Он ласково здо-

ровался со всеми и спрашивал, чьи и где живут. Все его знали еще ребенком и теперь смотрели на него удивленными глазами.

— Как же, помним тебя, соколик, — шамкали старики. — Тоже, поди, наш самосадский. Еще когда ползунком был, так на улице с нашими ребятами играл, а потом в учебу ушел. Конечно, кому до чего господь разум откроет... Мать-то пытала реветь да убиваться, как по покойнике отчитывала, а вот на старости господь привел старухе радость.

— Спасибо, что меня не забыли, старички, — благодарил Мухин. — Вот я и сам успел состариться...

Скоро изба была набита народом. Становилось душно. Нюрочка раскраснелась и вытирала вспотевшее лицо платком. Мухин был недоволен, что эти чужие люди мешают ему поговорить с глазу на глаз с матерью. Он скоро понял, что попался в ловушку, а все эти душевные разговоры служили только, по раскольничьему обычаю, прелюдией к некоторому сюрпризу. Пока старички разговаривали с дорогим гостем, остальные шушукались и всё поглядывали на дверь. Наконец, дверь рас-

пахнулась и в ней показалась приземистая и косолапая фигура здоровенного мужика. Все сразу замолкли и расступились. Мужик прошел в передний угол, истово положил поклон перед образами и, поклонившись в ноги Василисе Корниловне, проговорил заученным раскольничьим речитативом:

— Прости, мамынька, благослови, мамынька.

— Бог тебя простит, Мосеюшко, бог благословит, — с строгою ласковостью в голосе ответила старуха, довольная покорностью этого третьего сына.

— Здравствуй, родимый братец Петр Елисеич, — с деланым смирением заговорил Мосей, протягивая руку.

— Здравствуй, брат.

Братья обнялись и поцеловались из щеки в щеку, как требует обычай. Петр Елисеич поморщился, когда на него пахнуло от Мосея перегорелою водкой.

— Давно не видались... — бормотал Петр Елисеич. — Что ко мне не заглянешь на Ключевской завод, Мосей?

— Матушка не благословила, родимый

мой... Мы по родительскому завету держимся. Я-то, значит, в курене роблю, в жигалях хожу, как покойник родитель. В лесу живу, родимый мой.

Эта встреча произвела на Петра Елисеича неприятное впечатление, хотя он и не видался с Мосеем несколько лет. По своей медвежьей фигуре Мосей напоминал отца, и старая Василиса Корниловна поэтому питала к Мосею особенную привязанность, хотя он и жил в отделе. Особенностью Мосея, кроме слащавого раскольничьего говора, было то, что он никогда не смотрел прямо в глаза, а куда-нибудь в угол. По тому, как отнеслись к Мосею набравшиеся в избу соседи, Петр Елисеич видел, что он на Самосадке играет какую-то роль.

— Садись, Мосеюшко, гость будешь, — приговаривала его мать.

— И то сяду, мамынька.

Егор с женой продолжали стоять, потому что при матери садиться не смели, хотя Егор был и старше Мосея.

— Так-то вот, родимый мой Петр Елисеич, — заговорил Мосей, подсаживаясь к бра-

ту. — Надо мне тебя было видеть, да все доступа не выходило. Есть у меня до тебя одно словечко... Уж ты не взыщи на нашей темноте, потому как мы народ, пряменько сказать, от пня.

— В чем дело? — спросил Петр Елисеич, чувствуя, что Мосей начинает его пытать.

— Да дело не маленькое, родимый мой... Вот прошла теперь везде воля, значит, всем хрестьянам, а как насчет земляного положенья? Тебе это ближе знать...

— Пока ничего неизвестно, Мосей: я знаю не больше твоего... А потом, положение крестьян другое, чем приписанных к заводам людей.[384]

— Так, родимый мой... Конешно, мы люди темные, не понимаем. А только ты все-таки скажи мне, как это будет-то?.. Теперь по Расее везде прошла по хрестьянам воля и везде вышла хрестьянская земля, кто, значит, чем владал: на, получай... Ежели, напримерно, оборотить это самое на нас: выйдет нам земля али нет?

Петру Елисеичу не хотелось вступать в разговоры с Мосеем, но так как он, видимо,

являлся здесь представителем Самосадки, то пришлось подробно объяснять все, что Петр Елисеич знал об уставных грамотах и наделе землей бывших помещичьих крестьян. Старички теперь столпились вокруг всего стола и жадно ловили каждое слово, поглядывая на Мосея, — так ли, мол, Петр Елисеич говорит.

— Ты все про других рассказываешь, родимый мой, — приставал Мосей, разглаживая свою бороду корявою, обожженною рукой. — А нам до себя... Мы тебя своим считаем, самосадским, так, значит, уж ты все обскажи нам, чтобы без сумления. Вот и старички послушают... Там заводы как хотят, а наша Самосадка допрежь заводов стояла. Прапрадеды жили на Каменке, когда о заводах и слыхом было не слыхать... Наше дело совсем особенное. Родимый мой, ты уж для нас-то постарайся, чтобы воля вышла нам правильная...

В этих словах слышалось чисто раскольничье недоверие, которое возмущало Петра Елисеича больше всего: что ему скрывать, пока ни он, ни другие решительно ничего не знали? Приставанье Мосея просто начинало его бесить.

— Вот что, Мосей, — заговорил Петр Елисеич решительным тоном, — если ты хочешь потолковать, так заходи ко мне, а сейчас мне некогда...

— Так, родимый мой... Спасибо на добром слове, только все-таки ты уж сказал бы лучше... потому уж мы без сумления...

Слушавшие старички тоже принялись упрашивать, и Петр Елисеич очутился в пренеприятном положении. В избе поднялся страшный гвалт, и никто не хотел больше никого слушать. Теперь Петру Елисеичу приходилось отвечать зараз десятерым, и он только размахивал своим платком.

— Папа, мне неловко, — шепотом заявила Нюрочка.

— Ах, я про тебя и забыл, крошка... — спохватился Петр Елисеич. — Ты ступай к Самойлу Евтихычу, а я вот со старичками здесь потолкую...

— Я ее провожу, Петр Елисеич, — вызвалась начетчица Таисья.

— Скажи Самойлу Евтихычу, что я скоро приду, — говорил Петр Елисеич.

Глава 21

Нюрочка была рада, что вырвалась из бабушкиной избы, и торопливо бежала вперед, так что начетчица едва поспевала за ней.

— Ишь быстроногая... — любовно повторяла Таисья, улепетывая за Нюрочкой. Таисье было под сорок лет, но ее восковое лицо все еще было красиво тою раскольничьею красотой, которая не знает износа. Неслышные, мягкие движения и полумонашеский костюм придавали строгую женственность всей фигуре. Яркокрасные, строго сложенные губы говорили о неизжитом запасе застывших в этой начетчице сил.

— Таисья, я боюсь Васи... — проговорила Нюрочка, задерживая шаги. — Он меня прибьет...

— Полно, касаточка... — уговаривала ее Таисья. — Мы его сами за ухо поймаем, разбойника.

Порядок, по которому они шли, выходил на крутой берег р. Каменки и весь был уставлен такими крепкими, хорошими избами, благо лес под рукой, — сейчас за Каменкой начинался дремучий ельник, уходивший на сотни верст к северу. С улицы все избы были,

по раскольничьему обычаю, начисто вымыты, и это придавало им веселый вид. Желтые бревна так и светились, как новые. Такие же мытые избы стояли и в Кержацком конце на Ключевском заводе, потому что там жили те же чистоплотные, как кошки, самосадские бабы. Раскольничья чистота резко выделялась среди мочеганской грязи.

Когда Таисья с Нюрочкой уже подходили к груздевскому дому, им попался Никитич, который вел свою Оленку за руку. Никитич был родной брат Таисье.

— Сестрица, родимая моя... — бормотал Никитич, снимая свой цилиндр.

— Кто празднику рад — до свету пьян, — ядовито заметила Таисья, здороваясь с братом кивком головы.

— Ах ты, святая душа на костылях!.. Да ежели, например, я загулял? Теперь я прямо к Василисе Корниловне, потому хочу уважить сродственницу...

Оленка, красивая и глазастая девочка, одетая в сарафан из дешевенького ситца, со страхом смотрела на Таисью. Нюрочке очень хотелось подойти к ней и заговорить, но она бо-

ялась загулявшего Никитича.

— Зачем девчонку-то таскаешь за собой, путаная голова? — заворчала Таисья на Никитича и, схватив Оленку за руку, потащила ее за собой.

— Родимая… как же, напримерно, ежели я к бабушке Василисе?.. — бормотал Никитич, напрасно стараясь неверными шагами догнать сестру. — Отдай Оленку!

Таисья даже не обернулась, и Никитич махнул рукой, когда она с девочками скрылась в воротах груздевского дома. Он постоял на одном месте, побормотал что-то про себя и решительно не знал, что ему делать.

— Эй, берегись: замну!.. — крикнул над его ухом веселый голос, и верховая лошадь толкнула его мордой.

От толчка у Никитича полетел на землю цилиндр, так что он обругал проехавших двоих верховых уже вдогонку. Стоявшие за воротами кучер Семка и казачок Тишка громко хохотали над Никитичем.

— Ах, вы… да я вас… кто это проехал, а?..

— Это? А наши ключевские мочеганы…

— Н-но-о?

— Верно тебе говорим: лесообъездчик Макар да Терешка-казак. Вишь, пьяные едут, бороться хотят. Только самосадские уполощут их: вровень с землей сделают.

— Уполощут! — согласился Никитич. — Где же мочеганам с самосадскими на круг выходить... Ах, черти!..

— Известно, не от ума поехали: не сами, а водка едет... Макарка-то с лесообъездчиками-кержаками дружит, — ну, и надеется на защиту, а Терешка за ним дуром увязался.

— Ну, это еще кто кого... — проговорил детский голос за спиной Семки. — Как бы Макарка-то не унес у вас круг.

Это был Илюшка Рачитель, который пока жил у Груздева.

— Ах ты, мочеганин!.. — выругал его Никитич.

— Не лезь, коли тебя не трогают, — огрызнулся Илюшка.

Никитич хотел было схватить Илюшку за ухо, но тот ловко подставил ему ногу, и Никитич растянулся плашмя, как подгнившее с корня дерево.

— Ах ты, отродье Окулкино! — ругался Ни-

китич, с трудом поднимаясь на ноги, а Илюшка уже был далеко.

Таисья провела обеих девочек куда-то наверх и здесь усадила их в ожидании обеда, а сама ушла на половину к Анфисе Егоровне, чтобы рассказать о состоявшемся примирении бабушки Василисы с басурманом. Девочки сначала оглядели друг друга, как попавшие в одну клетку зверьки, а потом первой заговорила Нюрочка:

— Тебе сколько лет, Оленка?

— Не знаю.

Оленка смотрела на Нюрочку испуганными глазами и готова была разреветься благим матом каждую минуту.

— Как же ты не знаешь? — удивилась Нюрочка. — Разве ты не учишься?

— Учусь... у тетки Таисьи азбуку учу.

— Ты ее боишься?

— Боюсь. Она ременною лестовкой хлещется... Все ее боятся.

Нюрочке сделалось смешно: разве можно бояться Таисьи? Она такая добрая и ласковая всегда. Девочки быстро познакомились и первым делом осмотрели костюмы одна у другой.

Нюрочка даже хотела было примерять Оленькин сарафан, как в окне неожиданно показалась голова Васи.

— А, вот вы где, голубушки! — весело проговорил он, пробуя отворить окно.

Нюрочка так и обомлела от страха, но, на ее счастье, окно оказалось запертым изнутри. Светелка, где они сидели, единственным окном выходила куда-то на крышу, где Вася гонял голубей.

— Отворите окошко, куклы! — командовал он. — А не то сломаю стекло, вам же хуже будет...

— Нюрочка, иди обедать... — послышался в этот критический момент голос Таисьи на лестнице, и голова Васи скрылась.

— А Олена разве не пойдет с нами? — спрашивала Нюрочка, спускаясь по лестнице.

— Пусть пока там посидит, не велика гостья... — ворчала Таисья, придерживая Нюрочку за юбку.

Сегодня обеденный стол был поставлен в парадной зале, и прислуга сбилась с ног, стараясь устроить все форменно. Петр Елисеич в волнении ходил кругом стола и особенно

сильно размахивал платком.

— Погостили у баушки Василисы, Петр Елисеич? — спрашивала Анфиса Егоровна. — И слава богу... Сколько лет не видались, а старушка уж старенькая стаёт... Не сегодня-завтра и помрет, а теперь ей все же легче...

— А что, заставляла, поди, в ноги кланяться? — подсмеивался Груздев, хлопая гостя по плечу. — Мы тут по старинке живем... Признаться сказать, я и сам не очень-то долюбливаю нашу раскольничью стариковщину, все изъедуги какие-то...

— Самойло Евтихыч! — строго остановила его жена.

— Ну, не буду, не буду!.. Конечно, строгость необходима, особенно с детьми... Вот у тебя дочь, у меня сын, а еще кто знает, чем они утешат родителей-то на старости лет.

— Точно из бани вырвался, — рассказывал Петр Елисеич, не слушая хозяина. — Так и напирает... Еще этот Мосей навязался. Главное, что обидно: не верят ни одному моему слову, точно я их продал кому. Не верят и в то же время выпытывают. Одна мука.

— Темнота наша, — заметил Груздев и ши-

роко вздохнул. — А вот и Нюрочка!.. Ну, иди сюда, кралечка, садись вот рядом со мной, а я тебя буду угощать...

— Хозяйку растите, — ласково говорила Анфиса Егоровна, гладя Нюрочку по голове.

Обедали все свои. В дальнем конце стола скромно поместилась Таисья, а с ней рядом какой-то таинственный старец Кирилл. Этот последний в своем темном раскольничьем полукафтанье и с подстриженными по-раскольничьи на лбу волосами невольно бросался в глаза. Широкое, скуластое лицо, обросшее густою бородой, с плутоватыми темными глазками и приплюснутым татарским носом, было типично само по себе, а пробивавшаяся в темных волосах седина придавала ему какое-то иконное благообразие.

— Не узнаешь, видно, меня, милостивец? — обратился он к Петру Елисеичу, когда тот садился за стол. — Смиренный старец Кирилл из Заболотья...

— Что-то не упомню...

— А у отца Основы в третьем годе? Запамятовал, милостивец...

— Вот этакие смиренные старцы и смуща-

ют народ, — объяснил Груздев, указывая глазами Мухину на смиренного Кирилла. — Спроси-ка его, зачем он в Самосадку-то приехал?.. С твоим братцем Мосеем два сапога пара будут.

— Самойло Евтихыч! — закликала мужа Анфиса Егоровна.

— Ну, не буду... Сказал: не буду!

— Обнес ты меня напраслиной, милостивец, — кротко ответил смиренный Кирилл. — Действительно, возымел желание посетить богоспасаемые веси, премногими мужи и жены изобилующие... Вот сестра Таисья на перепутье задержала, разговора некоего для.

За столом прислуживали груздевские «молодцы», и в числе их Илюшка Рачитель, смотревший на обедавших сердитыми глазами. Петр Елисеич был не в духе и почти ничего не ел, что очень огорчало хозяйку. Груздев больше всего заботился о винах, причем не забывал и себя. Между прочим, он заставлял пить и смиренного Кирилла, который сначала все отнекивался. Сестра Таисья сидела, опустив глаза долу, и совсем не вмешивалась в разговор. Нюрочке опять было весело, пото-

му что она сидела рядом с отцом, а Вася напротив них. Расхрабрившись, она даже показала ему язык и очень смутилась, когда встретила строгий взгляд Таисьи.

— А ты, Самойло Евтихыч, был на молебне-то, когда волю объявляли на Ключевском? — спрашивал смиренный Кирилл.

— Был... Мне, брат, нельзя, потому что тут исправник и Лука Назарыч. Подневольный я человек.

— Не в осуждение тебе, милостивец, слово молвится, а наипаче к тому, что все для одних мочеган делается: у них и свои иконы поднимали, и в колокола звонили, и стечение народное было, а наш Кержацкий конец безмолвствовал... Воля-то вышла всем, а радуются одни мочегане.

— Кто же вам мешал радоваться? — грубо спрашивал Груздев, заметно подвыпивший.

— Суета! — вздохнул смиренный Кирилл. — И прежде сии лестные кознования в прочих изъявлена быша, но расточенные овцы не собрашася вкупе...

— Перестань ты морочить-то, а говори по-людски! — оборвал его Груздев и, указав на

него Мухину, прибавил: — Вот этакие смиренные иноки разъезжают теперь по заводам и смутьянят...

— Антихрист народился, вот что, если говорить напрямки! — с неожиданным азартом заявил смиренный Кирилл и даже ударил кулаком по столу, так что посуда загремела. — В писании прямо сказано: «Придет всескверный, яко льстец и ложь...» Вот он и пришел! А что сказано в Кирилловой книге?[385] — «И власть первого зверя вся творит... Всяк глаголяй, кроме повеленных, аще и достоверен будет, аще и постит и девствует, аще и знамения творит, аще и пророчествует — волк тебе да мнится во овчей коже, овцам пагубу содеваюш...»

Глазки смиренного заболотского инока так и заблестели, лицо побледнело, и он делался все смелее, чувствуя поднимавшееся обаяние своей восторженной речи. Таисья еще ниже опустила глаза... Она знала, что смиренный Кирилл переврал текст: часть взял из Игнатия Богоносца, а выдает за Кириллову книгу. Но она удержалась от изобличения завравшегося инока, чтобы не нарушать произведен-

ного им впечатления. Слепое уважение к церковно-славянскому языку сказалось в слушателях, особенно в Груздеве. Заныла мистическая раскольничья жилка с ее вечною скорбью, страхом и недоверием... Подогретый этим впечатлением, смиренный Кирилл говорил и говорил, уснащая свою речь излюбленными цитатами. Таисья уже забыла о промахах заболотского инока и со слезами на глазах смотрела на смущенного милостивца Самойлу Евтихыча, который как-то весь съежился. Анфиса Егоровна вытирала платком катившиеся слезы, а Нюрочка с широко раскрытыми, удивленными глазами боязливо прижалась своею детскою головкой к отцу. Заболотье посылало этого полуученого Кирилла с разными тонкими поручениями к милостивцам именно за эти яркие вспышки какого-то дикого вдохновения, производившего на темную массу неотразимое впечатление. Это был один из «повеленных» раскольничьих агентов.

— Работы египетские вместятся... — гремел Кирилл; он теперь уже стоял на ногах и размахивал правою рукой. — Нищ, убог и

странен стою пред тобой, милостивец, но нищ, убог и странен по своей воле... Да! Видит мое духовное око ненасытную алчбу и похоть, большие помыслы, а будет час, когда ты, милостивец, позавидуешь мне...

— Будет, будет, — ласково удерживала Таисья расходившегося старца. — Все мы грешные люди и все будем в огне гореть.

Анфиса Егоровна толкала мужа и что-то шептала ему на ухо.

— Ну, будет... прости, — нерешительно, устыдясь гостя, проговорил Груздев. — Сгрубил я тебе по своей мирской слепоте...

— А, теперь — прости! — кричал охваченный яростью смиренный Кирилл. — А как ты даве со мной разговаривал? Вставай да кланяйся в ноги, тогда и прощу.

Груздев на мгновение задумался, но быстро вылез из-за стола и, подойдя к иноку, отвесил глубокий поясной поклон, касаясь рукой пола.

— Не тебе кланяюсь, а твоему иноческому чину, — проговорил он уже спокойным тоном. — Прости, отче, и благослови...

— Ну, бог тебя благословит, бог тебя про-

стит...

Наступила тяжелая минута общего молчания. Всем было неловко. Казачок Тишка стоял у стены, опустив глаза, и только побелевшие губы у него тряслись от страха: ловко скрутил Кирилл Самойлу Евтихыча... Один Илюшка посматривал на всех с скрытою во взгляде улыбкой: он был чужой здесь и понимал только одну смешную сторону в унижении Груздева. Заболотский инок посмотрел кругом удивленными глазами, расслабленно опустился на свое место и, закрыв лицо руками, заплакал с какими-то детскими всхлипываниями.

— Отец Кирилл, что вы? — уговаривала его Анфиса Егоровна. — Простите уж нас, глупых...

— Не о себе плачу, — отозвался инок, не отнимая рук. — Знамения ясны... Разбойник уж идет с умиренною душой, а мы слепотствуем во тьме неведения.

Глава 22

Еще за обедом Вася несколько раз выскакивал из-за стола и подбегал к окну. Мать строго на него смотрела и качала головой, но

у мальчика было такое взволнованное лицо, что у ней не повертывался язык побранить непоседу. Когда смиренный Кирилл принялся обличать милостивцев, Вася воспользовался удобным моментом, подбежал к Нюрочке и шепнул:

— Нюрочка, айда наверх... Сейчас на мысу круг соберется!

Повторять свое приглашение ему не пришлось, потому что Нюрочке самой до смерти надоело сидеть за столом, и она рада была случаю удрать. Дети скрылись потихоньку, и только материнский глаз Анфисы Егоровны проводил их до порога да сестра Таисья строго покачала головой. Вырвавшись на волю, дети взапуски понеслись наверх, так что деревянная лестница только загремела у них под ногами. По пути Вася заглянул в ту светелку, где давеча прятались Нюрочка с Оленкой, и весело захохотал. Оленка стояла в углу, привязанная веревкой к стулу. Вместо угощения перед ней лежал клок сена. Она не смела пикнуть в чужом доме и так простояла все время обеда. Конечно, все это проделал Вася и теперь с детскою жестокостью хохотал над

несчастною девочкой, у которой от слез распухло все лицо.

— Ах ты, разбойник!.. — послышался голос Таисьи, которая своими неслышными шагами, как тень, поднялась по лестнице за детьми.

Завидев тетку, Оленка горько заревела.

— Тпрсо! тпрсо!.. — дразнил ее Вася, протягивая руку, как манят лошадей. — У ней нокоть, у Оленки, как у лошадей бывает.

Но его кудрявая голова очутилась сейчас же в руках у Таисьи, и он только охнул, когда она с неженскою силой ударила его между лопаток кулаком. Это обескуражило баловня, а когда он хотел вцепиться в Таисьину руку своими белыми зубами, то очутился уже на полу.

— Ступай, жалься матери-то, разбойник! — спокойно говорила Таисья, с необыкновенною ловкостью трепля Васю за уши, так что его кудрявая голова болталась и стучала о пол. — Ступай, жалься... Я тебя еще выдеру. Погоди, пес!..

Вася едва вывернулся из Таисьиных рук и, как бомба, вылетел в открытую дверь. Нюроч-

ка со страху прижалась в угол и не смела шевельнуться. Таисья обласкала Оленку, отвязала и, погладив ее по головке, сунула ей прямо в рот кусок пирожного. Оленка принялась жевать его, глотая слезы.

— Пойдемте, деушки, на балкон, круг смотреть, — говорила Таисья, подхватывая девочек за руки. — Перестань, Оленка, хныкать... Ужо накормлю и тебя на куфне.

Они пошли каким-то темным переходом и попали в другую светелку, выходившую широким балконом прямо на улицу. Нюрочка так и ахнула от восторга, когда они вышли на балкон: под их ногами раскинулась как на ладони вся Самосадка. Река Каменка делала красивое колено к Желтой горе, а за ней зубчатою стеной поднимался бесконечный лес, уходивший из глаз. За Березайкой красиво пестрела большая караванная контора, склады железа, барки, амбары и сложенные бунтами снасти. Собственно селение раскидало свои избушки в четыре неправильные улицы, лучами сбегавшиеся на мысу. В яркий солнечный день картина получалась замечательно красивая, и даже Таисья вздохнула,

любуясь всем «жилом». Она особенно долго смотрела на глинистую дорожку, которая на том берегу Каменки желтою змейкой уползала в лес.

— Таисья, а где круг? — спрашивала Нюрочка, сгорая от нетерпения.

— А вон... вон, где люди-то собрались на мысу, гляди прямо-то.

Действительно, на самом мысу уже собралась толпа, образуя широкий круг. Пока стояли одни подростки да сновала пристанская детвора. Борьбу начинали по исстари заведенному обычаю малыши, за ними выступали подростки, а большие мужики подходили уже к концу, когда решался на целый год горячий вопрос, кто «унесет круг» — ключевляне или самосадские. Лучшие борцы приберегались к концу борьбы, и последний уносил круг. Этот обычай переходил из рода в род, и Самосадка славилась своими борцами, которые почти каждый год торжествовали и у себя дома и на Ключевском заводе.

— Вон он, тятька-то... — проговорила Оленка, указывая рукой на круг.

— Ишь какие вострые глаза: узнала тять-

ку! — похвалила Таисья, заслоняя глаза от солнца рукой. — Твой тятька в кругу шарашится. Прежде-то сам хватски боролся, а ноне, ишь, ребятишек стравляет.

— Эй ты, святая душа на костылях! — кричал снизу Вася, окруженный целою толпой пристанских ребятишек.

— Ах, разбойник... Ужо вот я скажу матери-то! — бранилась Таисья, грозя Васе кулаком. — И востер только мальчишка: в кого такой, подумаешь, уродился!

Вася в ответ скакал на одной ноге и показывал язык.

Пьяный Никитич знал свое дело, и борьба завязалась. Сначала выпущены были пятилетки, и с балкона было видно, как в воздухе мелькали босые детские ноги. Прибывавшая толпа шумно выражала свое одобрение победителям. Мальчиков-ключевлян было немного, и их скоро перекидали приставляне. Боролись не в охапку, по-мужицки, а за вороток, подшибая ногой. По обычаю, каждый боролся три раза. Ребята боролись скоро, и на круг выходили все новые борцы. Никитич бегал по кругу с палкой, отодвигая напиравших сзади

праздных зрителей, и зорко следил, чтобы борьба стояла правильно. Заслышав шум на мысу, народ так и повалил к кругу. В толпе запестрели кумачные красные бабьи платки. Около них увивалась пристанская молодежь, разряженная по-праздничному — в кумачные рубахи, плисовые шаровары и суконные пальто. Халатов и шелковых цилиндров молодежь уже не носила. Таисья, глядя с балкона на происходившую внизу суету, только вздыхала.

Когда на кругу выступили подростки, на балкон пришел Самойло Евтихыч, Анфиса Егоровна и Петр Елисеич. Мужчины были слегка навеселе, а у Самойла Евтихыча лицо горело, как кумач.

— Ну-ка, поворачивай, молодцы! — кричал он с балкона гудевшей на мысу толпе. — Эй, самосадские, не выдавай!.. Кто унесет круг, приходи получать кумачную рубаху — это от меня!

Когда-то и сам Самойло Евтихыч лихо боролся на кругу с ключевлянами, а теперь у него зудились руки.

— Тишка, Илюшка, валяй в круг! — кричал

он, свешиваясь с балкона. — А где Васька? Пусть и он попробует, как печенки отшибают... Эх, не в отца уродился!..

— Разве он мужик? — уговаривала расходившегося мужа Анфиса Егоровна. — Тоже и придумаешь... Петр Елисеич, какая красавица у вас в Ключевском заводе выросла, вон стоит с бабами. Чья это?

— Это сестра брательников Гущиных, — с гордостью объяснила Таисья, — Аграфеной звать.

— Это сестра нашему обережному Матвею? Удивительно красивая девка.

Казачок Тишка и новый груздевский «молодец» Илюшка стояли уже в кругу и попробовали счастья вместе с другими груздевскими молодцами. Но им не повезло. Тишка сошел с круга на втором борце, а Илюшка полетел на землю от первого. Круг делался все плотнее, несмотря на отчаянные усилия Никитича, раздвигавшего напиравший народ. Господский кучер Семка уронил четверых самосадчан и несколько поддержал этим репутацию своего завода. Брательники Гущины были, конечно, налицо и терпеливо ждали

своей очереди. Впереди всех стоял красавец Спирька Гущин, на которого проглядели глаза все самосадские девки. Из других ключевлян выдавались обжимочный мастер Пимка Соболев и листокатальный мастер Гараська Ковригин — тоже не последние борцы, уносившие круг у себя дома. Тут же толкался в народе подгулявший дозорный Полуэхт Самоварник, ко всем приставал и всем надоедал.

— Родимые мои... — повторял Самоварник, помахивая подобранным халатом, как хвостом. — Постарайтесь, голубчики! Штобы не стыдно было на завод воротиться...

— Сам поборись, Полуэхт.

— Не могу, родимый мой: кость у меня жидкая.

Все были уверены вперед, что круг унесет Матюшка Гущин, который будет бороться последним. Он уже раза два уносил круг, и обе стороны оставались довольны, потому что каждая считала Матюшку своим: ключевляне — потому, что Матюшка родился и вырос в Ключевском, а самосадские — потому, что он жил сейчас на Самосадке.

— Мочеганы пришли... — загудела толпа,

когда к кругу подошли Терешка-казак и лесообъездчик Макар Горбатый. — Пустите мочеган бороться...

— По шее мочеган! — раздался чей-то одинокий голос и замер.

Мочегане вошли в круг и присоединились к своим Ключевским. Встретившая их насмешками толпа сейчас же успокоилась, потому что началась настоящая борьба: выступил в круг младший брательник Гущин. Воцарилась мертвая тишина. Борцы ходили по кругу, взявши друг друга за ворот чекменей правою рукой, — левая шла в дело только в момент схватки. Вся суть заключалась в том, чтобы ловко ударить противника ногой и сбить его на землю. Младший брательник Гущин погиб на шестом борце и вызвал шумные одобрения со стороны своих ключевлян, как до него кучер Семка. Второй брат упал под первого борца, и торжествовали самосадчане. Так же бесславно погиб и третий брат, за которым выступил Спирька. Огорченный неудачей двух братьев, Спирька в течение пяти минут смял трех лучших самосадских борцов.

— Эх вы, вороны, разве так борются? — кричал с балкона Груздев, размахивая платком. — Под левую ногу Спирьку ударь, а потом через колено...

Но в этот момент Спирька уложил пластом четвертого. Не успела Анфиса Егоровна сказать слова, как Груздев уже полетел по лестнице вниз, без шапки выбежал на улицу — и круг расступился, давая ему дорогу.

— Ай да Самойло Евтихыч! — поощряли голоса. — Ну-ка, тряхни стариной...

— Давайте мне чекмень... — говорил Груздев, засучивая рукава.

— Мотри, Самойло Евтихыч, кабы я тебя не зашиб, — предупреждал его Спирька. — Руки у нас жесткие, а ты обмяк...

— Ладно, разговаривай! — храбрился Груздев, надевая чекмень. — Только уговор: через голову не бросать.

— Да где тебя бросить, Самойло Евтихыч: с хорошую крицу весишь...

Когда железная рука Спирьки ухватила Самойлу Евтихыча за ворот чекменя, всем стало ясно, что самосадскому набобу несдобровать, и всех яснее это понимал и чувствовал сам

Самойло Евтихыч. Недавний хмель как рукой сняло, но бежать с круга было бы несмываемым пятном. С другой стороны, Самойло Евтихыч чувствовал, что Спирька трусит, и это его заметно ободрило. Конечно, силой ничего не возьмешь, а надо пуститься на хитрости. Припомнив какое-то мудреное борцовое колено, Самойло Евтихыч надеялся изловчиться и начал подтягивать Спирьку в правую сторону, как будто бы хотел его подшибить правою ногой. Спирька в свою очередь, как бык, забочился налево и начал убирать свою левую ногу. Выбрав удобный момент, Самойло Евтихыч неожиданно ударил его левою ногой так, что Спирька пошатнулся, но в то же мгновение Самойло Евтихыч точно вспорхнул на воздух, смешно заболтал ногами и растянулся пластом.

— До трех раз! нет, брат, до трех раз!.. — кричал Самойло Евтихыч, барахтаясь на земле.

Он хотел подняться, но только застонал, — левая нога, которою он ударил Спирьку, была точно чужая, а страшная боль в лодыжке заставила его застонать. Самойло Евтихыч пал

ничком, его окружили и начали поднимать.

— Домой несите... — проговорил он, скрипя зубами от боли.

— Ах, родимый ты мой! — кричал Самоварник, стараясь подхватить болтавшуюся голову Самойла Евтихыча. — Ну и Спирька, да не разбойник ли...

Домой принесли Самойлу Евтихыча в чекмене, как он боролся. В кабинете, когда начали снимать сапог с левой ноги, он закричал благим матом, так что Анфисе Егоровне сделалось дурно, и Таисья увела отпаивать ее водой. Пришлось ухаживать за больным Петру Елисеичу с казачком Тишкой.

— Ох, смерть моя!.. — стонал Самойло Евтихыч, лежа на своей кровати; сапог разрезали, чтобы снять с ноги.

Петр Елисеич осторожно ощупал быстро пухнувшее место и спокойно заметил:

— Ну, счастье твое...

— А что?

— Простой вывих, вернее — растяжение связок... Что, испугался?.. Сейчас нарочного пошлем за фельдшером на завод...

Принесли лед с погреба, и Петр Елисеич

сам наложил компресс. Груздев лежал с помертвевшим, бледным лицом, и крупные капли холодного пота покрывали его лоб. В каких-нибудь пять минут он изменился до неузнаваемости.

Происшествие с Самойлом Евтихычем минут на десять приостановило борьбу, но потом она пошла своим чередом. На круг вышел Терешка-казак. Это появление в кругу мочеганина вызвало сначала смех, но Никитич цыкнул на особенно задорных, — он теперь отстаивал своих ключевлян, без различия концов. Впрочем, Терешке пришлось не долго покрасоваться на кругу, и он свалился под второго борца.

— Куда вам, мочеганы, бороться! — радостно кричала толпа, довольная поражением Терешки. — Ну-ка, Макар, теперь ты попробуй...

Действительно, выступил Макар Горбатый. Он надел толстый чекмень, разгладил русую окладистую бородку, тряхнул волосами и весело оглянул затихший круг.

— Ну, молодцы, выходи на мочеганина! — покрикивал Никитич. — Кто посмелее?

Борцы переминались и только подталки-

вали друг друга: очень уж плечист был Макар и шея как у быка. Первый смельчак, попробовавший счастья, полетел на землю, как кошка, брошенная за хвост. Такая же участь постигла второго, третьего, четвертого, — Макар клал влоск последних самосадских борцов. По кругу пробежал ропот неудовольствия: если мочеганин унесет круг, то это будет вечным позором для всей пристани, и самосадским борцам стыдно будет показать глаза на Ключевской завод. Бабы засмеют... Целых двенадцать человек положил Макар, и оставался последний Матюшка Гущин. Толпа замерла в ожидании рокового момента. Матюшка был пониже Макара ростом, но еще плотнее. Он вышел на круг с какою-то застенчивою улыбкой, точно новичок.

— Раздайся, круг! — орал охрипшим голосом Никитич.

Когда борцы взяли друг друга за ворот, весь мыс замер. Народ смотрел с крыш, из окон, лезли на плечи. Целая толпа пристанских баб и ключевлянок сбились у груздевского дома, откуда было видно все. Первый раз свалился Макар, и весь круг облегченно

вздохнул: конечно, Матюшка обломает мочеганина. Но не успели пристанские порадоваться хорошенько, как Матюшка грузно ударился о землю, точно пала чугунная баба, какою заколачивают сваи. Оставался последний, решительный раз... Оба борца чувствовали, какая ответственность лежит на них, и ходили по кругу битых полчаса, — ни тот, ни другой не поддавался. У Макара от натуги напружились жилы на шее, и он тяжело дышал. Всем показались эти полчаса за год, а когда Матюшка Гущин полетел опять на землю — воцарилась на несколько мгновений зловещая тишина. Круг унес Макар...

— Чего вы на них, мочеган, глядите?.. Бей!.. — раздался в толпе неизвестный голос.

Достаточно было одного этого крика, чтобы разом произошло что-то невероятное. Весь круг смешался, и послышался глухой рев. Произошла отчаянная свалка. Никитич пробовал было образумить народ, но сейчас же был сбит с ног и очутился под живою, копошившеюся на нем кучей. Откуда-то появились колья и поленья, а у ворот груздевского дома раздался отчаянный женский вопль: это

крикнула Аграфена Гущина.

— Не бойсь, брательники-то отобьются! — утешали ее бабы.

Отчаянная свалка прекратилась только с появлением на поле битвы Петра Елисеича. Народ бросился врассыпную, а в кругу остались лежавшие пластом Терешка-казак и Макар Горбатый. Их так замертво и снесли в ближайшую избу.

— Ну, что там: кто унес круг? — с нетерпением спрашивал Груздев, когда Петр Елисеич вернулся. — Макар Горбатый?.. Не может быть!..

— Чего не может быть: влоск самого уходили... Страшно смотреть: лица не видно, весь в крови, все платье разорвано. Это какие-то звери, а не люди! Нужно запретить это варварское удовольствие.

Груздев отнесся к постигшему Самосадку позору с большим азартом, хотя у самого уже начинался жар. Этот сильный человек вдруг ослабел, и только стоило ему закрыть глаза, как сейчас же начинался бред. Петр Елисеич сидел около его кровати до полночи. Убедившись, что Груздев забылся, он хотел выйти.

— Петр Елисеич, постой, — окликнул его очнувшийся Груздев.

— Что, опять нога беспокоит?

— Ну ее, ногу: заживет... А я все думаю про этого Кирилла, который говорил давеча о знамениях. Что это, по-твоему, значит: «и разбойник придет с умиренною душой»? Про кого это он закинул?

— Да так, мало ли что он болтал.

— Нет, брат, это неспроста сказано... Не таковский народ!.. Понимаешь: с умиренною душой.

Всю ночь Груздев страшно мучился. Ему все представлялось, что он бьется в кругу не на живот, а на смерть: поборет одного — выходит другой, поборет другого — третий, и так без конца. На улице долго пьяные мужики горланили песни, а Груздев стонал, как раздавленный.

Петр Елисеич тоже долго не мог заснуть. Ему с Нюрочкой была отведена светелка с балконом. Нюрочка, конечно, спала счастливым детским сном, а Петр Елисеич долго ворочался, прислушиваясь к праздничному шуму гулявшей пристани и пьяным песням.

Чтобы освежиться, он осторожно вышел на балкон. Над Самосадкой стояла прелестная летняя ночь, какие бывают только на Урале. Река утонула в белой пелене двигавшегося тумана, лес казался выше, в домах кое-где еще мигали красные огоньки. Заслоненные дневным шумом воспоминания далекого детства поднялись теперь с особенною силой... Вот он вырос здесь, на этом мысу играл ребенком, а потом за границей часто вспоминал эту родную Самосадку, рисовавшуюся ему в радужных красках. Как рвалась его душа в родное гнездо, а потом глубокая пропасть навсегда отделила его от близких по крови людей. И сейчас он чувствовал себя чужим, припоминая тяжелую сцену примирения с матерью. Но что думать о себе, когда жизнь прожита, а вот что ждет Нюрочку, ровное дыхание которой он сейчас слышал? Спи, милая девочка, пока заботы и огорчения больших людей не беспокоят твоего детского, счастливого сна!..

Глава 23

Страда на уральских горных заводах — самое оживленное и веселое время. Все заводское население переселяется на покосы,

где у избушек и балаганов до успеньева дня кипит самая горячая работа. Кержацкий конец уходил на берега р. Урьи и Березайки, а мочегане занимали противоположную сторону, где весело разливались Култым и Сойга. Кержацкие покосы занимали места первых заводских куреней, а мочегане делали новые расчистки, и каждый шаг покупался здесь отчаянным трудом. На заводе оставались одни старухи вроде бабушки Акулины, матери Рачителя, да разные бобылки. Исключение составляла Пеньковка, где сошлось пришлое население, не имевшее никакого хозяйства, — медный рудник работал круглый год. Все три конца пустели, и большинство домов оставалось совсем без хозяев. Закрытые ставнями окна, деревянные засовы и грошовые замки служили единственною охраной пустовавшего жилья. Воровства в Ключевском заводе вообще не было, а единственный заводский вор Никешка Морок летом проживал в конском пасеве.

Семья Горбатого в полном составе перекочевала на Сойгу, где у старика Тита был расчищен большой покос. Увезли в лес даже Ма-

кара, который после праздника в Самосадке вылежал дома недели три и теперь едва бродил. Впрочем, он и не участвовал в работе семьи, как лесообъездчик, занятый своим делом.

— Плохо тебя поучили кержаки, — ворчал на сына старый Тит. — Этово-тово, надо было тебя убить...

Макар отмалчивался и целые дни лежал пластом в балагане, предоставляя жене убираться с покосом. Татьяна каждое лето работала за двоих, а потом всю зиму слушала попреки свекрови, что вот Макар травит чужое сено. Муж по прежнему не давал ей прохода, и так как не мог ходить по-здоровому, то подзывал жену к себе и тыкал ее кулаком в зубы или просто швырял в нее палкой или камнем. Эта мертвая ненависть наводила какое-то оцепенение на забитую бабу, и она выносила истязания без звука, как рыба. Только по вечерам, когда после трудового дня на покосах разливалась песня, Татьяна присаживалась к огоньку и горько плакала, — чужая радость хватала ее за живое. Особенно веселились на покосе хохлы, вообще любившие «по-

жартовать». Покос старого Коваля приходился рядом с покосом Тита, а дальше шел покос Деяна Поперешного. Этот последний служил предметом общей зависти, как самый лучший: к горе выдавался такой ловкий мысок, почти кругом обойденный р. Сойгой. Весной река заливала его, и Деянов покос не боялся никакой засухи. Трава на нем росла по пояс. Расчистил его Никешка Морок и под пьяную руку сбыл за бесценок Деяну.

Ранним утром было любо-дорого посмотреть на покос Тита Горбатого, на котором старик управлялся своею одною семьей. Одних снох работало три, да сын Федор, да сам со старухой, да подсоблял еще Пашка своим ребячьим делом. На работу выходили на брезгу, а к покосной избушке возвращались, когда солнце садилось совсем. Старый Тит был неумолим и в покос не жалел своих баб. Одна Палагея пользовалась некоторою льготой и могла отрываться от работы под предлогом посмотреть внучат, остававшихся около избушки, или когда варила варево на всю семью. В первые две недели такой страды все снохи «спадали с тела» и только потом отды-

хали, когда поспевала гребь и вообще начиналась раздышка.

И нынче все на покосе Тита было по-старому, но работа как-то не спорилась: и встают рано и выходят на работу раньше других, а работа не та, — опытный стариковский глаз Тита видел это, и душа его болела. Старик частенько вздыхал про себя, но никому ничего не говорил. И по другим покосам было то же самое: у Деяна, у Канусиков, у Чеботаревых — кажется, народ на всякую работу спорый, а работа нейдет. По вечерам старики собирались где-нибудь около огонька и подолгу гуторили между собой, остерегаясь больше всего баб. Народ был все степенный, как старик Филипп Чеботарев или Канусик. Из хохлов в эту компанию попал один Коваль.

— Теперь, этово-тово, ежели рассудить, какая здесь земля, старички? — говорил Тит. — Тут тебе покос, а тут гора... камень... Только вот по реке сколько местов угодных и найдется. Дальше — народу больше, а, этово-тово, в земле будет умаление. Это я насчет покосу, старички...

— Уж это что и говорить, — соглашались

слушатели. — Одно званье...

— То-то вот, старички... А оно, этово-тово, нужно тебе хлеб, сейчас ступай на базар и купляй. Ведь барин-то теперь шабаш, чтобы, этово-тово, из магазину хлеб выдавать... Пуд муки аржаной купил, полтины и нет в кармане, а ее еще добыть надо. Другое прочее — крупы, говядину, все купляй. Шерсть купляй, бабам лен купляй, овчину купляй, да еще бабы ситцу поганого просят... так я говорю?

— Это ты верно... Набаловались наши заводские бабы!

— Куды ни пошевелись, все купляй... Вот какая наша земля, да и та не наша, а господская. Теперь опять так сказать: опять мы в куренную работу с волею-то своей али на фабрику...

— Э, пусть ей пусто будет, этой огненной нашей работе, Тит! Шабаш теперь!

— Ну, а чем будем жить?

— Кабы земля, так как бы не жить. Пашни бы разбили, хлеб стали бы сеять, скотину держать. Все повернулось бы на настоящую хрестьянскую руку... Вон из орды когда хрестьяны хлеб привозят к нам на базар, так, слышь,

не нахвалятся житьем-то своим: все у них свое.

— То-то вот и оно-то, што в орде хрестьянину самый раз, старички, — подхватывал Тит заброшенное словечко. — Земля в орде новая, травы ковыльные, крепкие, скотина всякая дешевая... Все к нам на заводы с той стороны везут, а мы, этово-тово, деньги им травим.

Такие разговоры повторялись каждый день с небольшими вариациями, но последнего слова никто не говорил, а всё ходили кругом да около. Старый Тит стороной вызнал, как думают другие старики. Раза два, закинув какое-нибудь заделье, он объехал почти все покосы по Сойге и Култыму и везде сталкивался со стариками. Свои туляки говорили все в одно слово, а хохлы или упрямились, или хитрили. Ну, да хохлы сами про себя знают, а Тит думал больше о своем Туляцком конце.

В страду на Урале выпадают такие хорошие, теплые ночи. Над головой синее-синее небо, где-то точно под землей ворчит бойкая Сойга, дальше зубчатою синею стеной обступили горы, между покосами лесные гривки и

островки. Ухнет в лесу филин, прокукует кукушка, и опять все тихо. Смолкают веселые песни, меркнут огоньки у покосных балаганов и избушек, а старый Тит все сидит, сидит и думает. Всех он знает и знает все, что делается кругом. Вон Деянова семья как проворно убирается с сеном, Чеботаревы потише, потому как мужиков в семье всего один старик Филипп, а остальные — всё девки. Работящие девки, худого слова не окажешь, а всё девки — такая им и цена. Ковали могли бы управиться наряду с Деяном, так на работу ленивы и погулять любят. Среди богатых, людных семей бьется, как рыба об лед, старуха Мавра, мать Окулка, — другим не работа — праздник, а Мавра вышла на покос с одною дочерью Наташкой, да мальчонко Тараско при них околачивается. Не велико ребячье дело, не с кого и взыскивать. Известно, ребята!.. По ягоды бегают, коней стерегут, птичьи гнезда зорят, копны возят — только ихней и работы. Присматривает Тит и свою будущую невестку Федорку, которая с маткой сено ворошит да свои хохлацкие песни поет. Ничего, славная девушка, коренастенькая такая, с крутым

оплечьем и румянцем во всю щеку. Выправится — ядреная будет, как репа. Сидит у огонька старый Тит и все думает... Вот подойдет осень, и пойдет народ опять в кабалу к Устюжанинову, а какая это работа: молодые ребята балуются на фабрике, мужики изробливаются к пятидесяти годам, а про баб и говорить нечего, — которая пошла на фабрику, та и пропала. Разе с заводским балованным народом можно сравнить крестьян? Куда они лучше будут! Сиротства меньше по крестьянам, потому нет у них заводского увечья и простуды, как на огненной работе: у того ноги застужены, у другого поясница не владеет, третий и на ногах, да силы в нем нет никакой. Эх, уйти бы в орду и сесть на свою землю... Последнюю мысль старый Тит как будто прячет от самого себя и даже оглядывается каждый раз, точно кто может его подслушать. Да, хорошо было бы уйти совсем. Всю ночь думает Тит и день думает, и даже совсем от хлеба отбился.

— Уж тебя, старик, не сглазил ли кто? — спрашивала старая Палагея. — Чего-то больно туманный ходишь...

С женой Тит не любил разговаривать и только цыкнул на нее: не бабьего это ума дело.

Сколько ни мялись старики, сколько ни крепились, а заветное слово пришлось выговорить. Сказал его старый Коваль:

— А втикать надо, старички, до орды... Побачимо, як добри люди на свете живут.

— Тоже и сказал! — ворчал на свата Тит. — Не близкое место орда, этово-тово, верст с пятьсот будет...

— Пригнали же нас сюда, а до орды много поближе, сват. Не хочу зоставаться здесь, и всё туточки! Вот який твой сват, Тит...

Старички даже как будто испугались, когда высказана была роковая мысль, висевшая в воздухе. Думать каждый думал, а выговорить страшно.

— Только вот што, старички, — говорил Деян Поперешный, — бабам ни гугу!.. Примутся стрекотать, как сороки, и все дело испортят. Подымут рев, забегают, как оглашенные.

— А ну их, жинок, к нечистому! — подтвердил старый Коваль и даже благочестиво отплюнулся.

— Конешно, не бабьего это ума дело, — авторитетно подтвердил Тит, державший своих баб в качестве бессловесной скотины. — Надо обмозговать дело.

Долго толковали старички на эту тему, и только упорно «мовчал» один старый Коваль, хотя он первый и выговорил роковое слово. Он принадлежал к числу немногих стариков хохлов, которые помнили еще свою Украину. Когда Коваля-парубка погнали в Сибирь, он решил про себя «побегти у речку» и, вероятно, утопился бы, если бы не «карые очи» Ганны. Теперь уж поздно было думать об Украине, где все «ридненькое» давно «вмерло», а «втикать до орды» на старости лет стоило угона в Сибирь. В старом хохле боролось двойное чувство.

— Что же ты, сват, этово-тово, молчишь? — спрашивал Тит, когда старики разошлись и они остались вдвоем с глазу на глаз. — Сказал слово и молчишь.

— Щось таке, сват?.. Мовчу так мовчу... Вот о жинках ты сказал, а жинки наперед нас свой хлеб продумали.

— Н-но-о?

— Да я ж тоби говорю... Моя Ганна на стену лезе, як коза, що белены поела. Так и другие бабы... Э, плевать! А то я мовчу, сват, как мы с тобой будем: посватались, а може жених с невестой и разъедутся. Так-то...

— Как разъедутся, этово-тово?

— А так же... Може, я уеду в орду, а ты зостанешься, бо туляки ваши хитрые.

— Вместе поедем, сват... Я избу поставлю, а ты, этово-тово, другую избу рядом. Я Федьку отделю, а Макар пусть в большаках остается. Замотался он в лесообъездчиках-то...

— Добре, сват!..

— А на место Федьки женатым сыном будет Пашка, этово-тово...

— Такочки, сват!..

— А все-таки бабам не надо ничего говорить, сват. Пусть болтают себе, а мы ничего не знаем... Поболтают и бросят.

— Не можно, сват... Жинка завсегда хитрее. Да... А я слухал, как приказчичья Домна с Рачителихой в кабаке о своем хлебе толковали. Оттак!

— Это хохлы баб распустили и парней также, а наши тулянки не посмеют. Дурни

вы, хохлы, вот что, коли такую волю бабам даете!..

— Сват, не зачипляй!

Сваты даже легонько повздорили и разошлись недовольные друг другом. Особенно недоволен был Тит: тоже послал бог свата, у которого семь пятниц на неделе. Да и бабы хороши! Те же хохлы наболтали, а теперь валят на баб. Во всяком случае, дело выходит скверное: еще не начали, а уж разговор пошел по всему заводу.

Глава 24

Бабы-мочеганки действительно заговорили о своем хлебе раньше мужиков, и бабьи языки работали с особенным усердием. О переговорах стариков на покосе бабы тоже знали, что еще сильнее конфузило таких упрямых людей, как Тит Горбатый. Конечно, впереди всех оказались старухи тулянки, как Палагея, жена Деяна Фекла, жена Филиппа Чеботарева высокая Дарья. К тулянкам подбились и хохлушки, как Ганна Ковалиха, Горпина Канусик и др. Тулянки не очень-то жаловали ленивых хохлушек, да уж дело такое, что разбирать не приходилось, кто и чего стоит. И ста-

рух тулянок и старух хохлушек связывали теперь общие воспоминания: ведь их вместе пригнали на Ключевской завод и вместе они приживались здесь. Сколько горя было принято от одних кержаков, особенно в первое время. Проклятые обушники, бывало, ковша не дадут воды зачерпнуть: испоганят, слышь, мочегане... Деянова жена Фекла показывала всем иголку, которую еще из Расеи вынесла с собой, — сорок лет служила иголка-то.

— Все свое будет, некупленное, — повторяли скопидомки-тулянки. — А хлебушко будет, так какого еще рожна надо! Сказывают, в этой самой орде аржаного хлеба и в заведенье нет, а все пшеничный едят.

— Скотину, слышь, рожью-то кормят, бабоньки! Божий дар, а они его скотине травят... Урождай у них страшенные.

— Теперь снохи одними ситцами разорят, — жаловалась старая Палагея. — И на сарафан ситца подай, и на подзоры к станушке подай, и на рубаху подай — одно разорение... А в хрестьянах во все свое одевайся: лен свой, шерсть своя. У баб, у хрестьянок, новин со сто набирается: и тебе холст, и тебе пестрядина, и

сукно домашнее, и чулки, и варежки, и овчины.

— Уж это што и говорить, — поддакивали старухи, — испотачились наши сношеньки. Пряменько сказать, вконец истварились! А по хрестьянам-то баба всему голова, без бабы мужику ни взад, ни вперед: оба к одной земле привязаны. Так-то...

— И мужики из хрестьян лучше наших заводских.

— А чтобы девки которые гулящие были по хрестьянам — ни-ни!..

Эта исконная тяга великорусского племени к своей земле сказалась в старых крестьянках с какою-то болезненною силой. Самые древние старушки поднялись на дыбы при одной вести о крестьянстве и своем хлебе. Сорока лет заводского житья точно не бывало. Старухи, по возможности, таились от снох и даже от родных дочерей, а молодые бабы шушукались между собой. Сказывалась какая-то скрытая рознь, пока еще не определенная никаким словом. Одни девки, как беспастушная скотина, ничего знать не хотели и только ждали вечера, чтобы горланить песни

да с парнями зубы скалить.

— Сбесились наши старухи, — судачили между собой снохи из большесемейных туляцких домов. — Туда же, беззубые, своего хлеба захотели!.. Теперь житья от них нет, а там поедом съедят!

Молодые бабы-хохлушки слушали эти жалобы равнодушно, потому что в Хохлацком конце женатые сыновья жили почти все в отделе от стариков, за немногими исключениями, как семья Ковалей. Богатых семей в Хохлацком конце не было, но не было и такого утеснения снох и вообще баб, как у туляков. Тулянки, попадавшие замуж за хохла, сейчас же нагуливали тело. Замечательно было то, что как хохлушки, так и тулянки одевались совсем по-заводски, как кержанки: в подбористые сарафаны, в ситцевые рубашки, в юбки с ситцевым подзором, а щеголихи по праздникам разряжались даже в ситцевые кофты. Ни плахт, ни запасок, ни панёв — ничего не осталось, кроме как у старух, донашивавших старое. Молодые бабы-мочеганки во всем подражали щеголихам-кержанкам. То же было и с языком и с песнями... Молодые все говорили

«по-кержацки», а старинные хохлацкие и туляцкие песни пелись только на свадьбах.

В общем гвалте, поднятом старухами, не участвовали только такие бобылки, как Мавра, мать Окулка. Этой уж некуда было ехать, да и незачем: вот бы сенца поставить для коровы — и то вперед. Сама Мавра не могла работать, а только подсобляла дочери Наташке, которая и косила, и гребла, и копнила сено, и метала зарод. Проворная была девка и управлялась за мужика, даром что зиму работала на фабрике дровосушкой. Нехорошая слава про фабричных девок, а над Наташкой никто не смел посмеяться: соблюдала она себя. В праздники, когда отцовские дочери гуляли по улице с песнями да шутками, Наташка сидела в своей избушке, и мать не могла ее дослаться на улицу.

— Зачем я пойду: тряпицы свои показывать? — отговаривалась она.

Семья только и держалась Наташкиной работой. Если бы не круглая бедность, быть бы Наташке замужем за хорошим мужиком, а теперь женихи ее обегали, потому что всякому лестно вывести жену из достаточной семьи,

а тут вместо приданого два голодных рта — Мавра да Тараско. Наташка сама понимала свое положение, да и пора понимать: девке на двадцать второй год перевалило, а это уж перестарком свахи зовут. На покосе Наташке доставалось вдвое. Утром она едва поднималась, от натуги ломило поясницу, и руки, и ноги. Днем на работе молодое тело расходилось, а к вечеру Наташка точно вся немела от своей лошадиной работы. Не до песен тут, как на других покосах. Да и есть было надо, а достатков нет. Везде было занято, где можно, а до осени, когда начинается поденщина, еще далеко. Кусок черствого хлеба да ключевая вода — вот и вся еда... Больше всего не любила Наташка ходить с займами к богатым, как Тит Горбатый, а выворачивалась как-нибудь у своего же брата голытьбы. Мавра обходила с займами все покосы и всем надоела, а Наташка часто ложилась спать совсем голодная. Мавра тоже терпела голод, но молчала, а Тараско ревел и ругался, требуя хлеба. Была и у Наташки своя маленькая заручка, но она все опасалась ею пользоваться. Когда ей приходилось особенно тошно, она вечером заверты-

вала на покос к Чеботаревым, — и люди они небогатые, свой брат, и потом товарка здесь была у Наташки, старшая дочь Филиппа, солдатка Аннушка, работавшая на фабрике вместе с Наташкой. Не велики были достатки у Чеботаревых, да солдатка Аннушка была добрая душа и готова отдать последнее. Через Тараску солдатка Аннушка давно засылала Наташке то пирожок с луком, то яичко, а то просто скажет: «Отчего это Наташка к нам не завернет?.. Удосужилась бы малым делом...» Но Наташка боялась особенно дружить с солдаткою Аннушкой, про которую шла нехорошая слава: подманивала она красивых девок для Палача. Может быть, это было и неправда, на фабрике мало ли что болтают, но Наташка все-таки боялась ласковой Аннушки, как огня. Раз под вечер Аннушка сама пришла на покос к Мавре и ласково принялась выговаривать Наташке:

— Спесивая стала, Наташенька... Дозваться я не могла тебя, так сама пошла: солдатке не до спеси. Ох, гляжу я на тебя, как ты маешься, так вчуже жаль... Кожу бы с себя ровно сняла да помогла тебе! Вон Горбатые не знают, куда

с деньгами деваться, а нет, чтобы послали хоть кобылу копны к зароду свозить.

— Скоро управимся, Аннушка, — отвечала Наташка, подкупленная жалостливым словцом, — ведь ее никто не жалел. — Попрошу у вас же лошади, когда ослобонится.

— Тятька беспременно даст... Своя нужда дома вплоть до крыши, так и чужую пожалеет. Это завсегда так, Наташенька... Ужо поговорю с тятькой. Трудно тебе, горюшке, одной-то весь покос воротить... хоть бы немудренького мужичонка вам.

— Где его взять-то, Аннушка? Вот Тараско подрастет. Ноне его на фабрику сведу.

Посидела Аннушка, потужила и ушла с тем же, с чем пришла. А Наташка долго ее провожала глазами: откуда только что берет Аннушка — одета чисто, сама здоровая, на шее разные бусы, и по праздникам в кофтах щеголяет. К пасхе шерстяное платье справила: то-то беспутная голова! Хорошо ей, солдатке! Позавидовала Наташка, как живут солдатки, да устыдилась.

В середине покоса Наташка разнемоглась своею бабьею болезнью: все болит. Давно она

разнемоглась, да все терпела. Оставалось докосить мокрый лужок к самой реке, но Наташка откладывала эту работу: трава по мокрым местам жесткая, а она косила босая. И то все ноги в крови к вечеру. Так лужок и оставался нескошенным, а Наташка лежала в балагане третий день, ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Старуха Мавра, вместо того чтобы пожалеть девку, на нее же взъелась: ты и такая, ты и сякая. Не понимает того, старая, что от голодухи обессилела Наташка. Бедные люди поневоле делаются несправедливыми, как было и теперь. Оставалось одно: обратиться к Аннушке, но Наташка еще перемогалась: может, к утру полегчает.

— Вон добрые люди в орду собираются уезжать, а ты лежишь, как колода, — корила обезумевшая Мавра единственную работницу. — Хоть бы умереть... Хлеба вон осталась одна-разъединая корочка, как хошь ее дели на троих-то.

— Мамынька, завтра поправлюсь, даст бог...

— Аннушка вон обещалась пособить, только, грит, пусть Наташка сама придет. Вон у

нее какие сарафаны-то, а ты ее же обегаешь. Ваша-то, девичья-то, честь для богатых, а бедным не помирать же с голоду.

— Опомнись, мамынька, какие слова ты выговариваешь? — стонала Наташка.

— А такие... Не ты первая, не ты последняя: про всех про вас, дровосушек, одна слава-то...

Как ни крепилась Наташка, как ни перемогалась, а старуха-таки доняла ее: заревела девка. Раньше хоть спала, а тут и ночь не спится, — обидела ее мать. К утру только заснула Наташка, так хорошо, крепко заснула. Давно ободняло уж, а Наташка спит, спит и сама дивится, что никто ее не будит. Что бы это такое значило? Солнышко уж в балаган стало заглядывать, значит время к обеду. Стыдно стало Наташке. Собралась она с силами, поднялась и вышла из балагана. Мать сидит у огонька, опустила голову на руки и горько-горько плачет.

— Чего ты, мамынька родная?

Старуха Мавра с удивлением посмотрела на дочь, что та ничего не знает, и только головой указала на лужок у реки. Там с косой

Наташки лихо косил какой-то здоровенный мужик, так что слышно было, как жесткая болотная трава свистела у него под косой.

— Да ведь это Окулко?! — крикнула Наташка, всплеснув руками.

— Он самый. Утром даве я встаю, вышла из балагана, вот этак же гляжу, а у нас лужок мужик косит. Испугалась я по первоначалу-то, а потом разглядела: он, Окулко. Сам пришел и хлеба принес. Говорит, объявляться пришел... Докошу, говорит, вам лужок, а потом пойду прямо в контору к приказчику: вяжите меня...

— Вот, мамынька, ты все жалилась да меня корила...

— От голоду, родная, от голоду. Помутилась я разумом на старости лет... Ты погляди, как Окулко-то поворачивает: тебе бы на три дня колотиться над лужком, а он к вечеру управится.

— Да ведь он мужик, мамынька.

Окулко косил с раннего утра вплоть до обеда, без передышки. Маленький Тараско ходил по косеву за ним и молча любовался на молодецкую работу богатыря-брата. Обедать Окул-

ко пришел к балагану, молча съел кусок ржаного хлеба и опять пошел косить. На других покосах уже заметили, что у Мавры косит какой-то мужик, и, конечно, полюбопытствовали узнать, какой такой новый работник объявился. Тит Горбатый даже подъехал верхом на своей буланой кобыле и вслух похвалил чистую Окулкину работу.

— Здравствуй, Окулко, — проговорил он. — Ты, этово-тово, ладно надумал, в самый раз.

— Ладно, так и примеривать не надо, — отрезал Окулко, продолжая работать.

— Ты, этово-тово, правильно...

Конечно, прибежала на той же ноге Аннушка.

— Ну, вот и слава богу, мужик нашелся, — радовалась она. — А ты, Наташка, совсем затощала, лица на тебе нет... Ай да Окулко! Тоже и придумал ловко.

Маврина семья сразу ожила, точно и день был светлее, и все помолодели. Мавра сбегала к Горбатым и выпросила целую ковригу хлеба, а у Деяна заняла луку да соли. К вечеру Окулко действительно кончил лужок, опять молча поужинал и улегся в балагане. Наташ-

ка радовалась: сгрести готовую кошенину не велика печаль, а старая Мавра опять горько плакала. Как-то Окулко пойдет объявляться в контору? Ушлют его опять в острог в Верхотурье, только и видела работничка.

Глава 25

По всем покосам широкою волной прокатилась молва о задуманном переселении в орду, и самым разнообразным толкам не было конца.

— Надо засылать ходоков, старички, — повторял Филипп Чеботарев, когда собирались человек пять-шесть. — Страда в половине, которые семьи управились с кошениной, а ежели есть свои мужики, так поставят сено и без старика. Надо засылать.

— Уж это што и говорить, — соглашались все. — Как по другим прочиим местам добрые люди делают, так и мы. Жалованье зададим ходокам, чтобы им не обидно было и чтобы неустойки не вышло. Тоже задарма кому охота болтаться... В аккурате надо дело делать.

Все понимали, что в ходоки нужно выбрать обстоятельных стариков, а не кого-нибудь. Дело хлопотливое и ответственное, и не

всякий на него пойдет. Раз под вечер, когда семья Горбатых дружно вершила первый зарод, к ним степенно подвалила артелька стариков.

— Здорово, старички! — весело крикнул Тит с зарода.

— Бог на помочь!

Старички присели к сторонке и с достоинством обождали, пока Горбатые кончат свою работу. Макар и Федор продолжали свое дело, не обращая на гостей никакого внимания. Молодые мужики вообще как-то сторонились от стариков, а в больших туляцких семьях они не смели пикнуть, когда большак дома. Легко работали Горбатые около своего зарода, так что любо-дорого было смотреть. Филипп Чеботарев наблюдал их с тайною завистью: вот бы ему хоть одного сына в семью, а то с девками недалеко уедешь. Из туляков пришли Деян Поперешный и рыжий, как огонь, Шкарабура (прозвище за необыкновенный вид), а из хохлов Дорох Ковальчук, Канусик и Шикун.

— Садитесь, этово-тово, на прясло-то, так гости будете, — кричал Тит, едва успевая при-

нимать подкидываемое сыновьями сено.

— Управляйся, дедушко, дело не к спеху.

Подбиравшие граблями сено бабы молчали: они чувствовали, зачем приволоклись старички. Палагея сердито поглядывала на снох.

Когда кончили вершить зарод, Макар и Федор ушли копнить поспевшее к вечеру сено, а за ними поплелись бабы. Тит спустился с зарода, обругал Пашку, который неладно покрывал верхушку зарода свежими березовыми ветками, и подошел к дожидавшим старичкам.

— Ну, этово-тово, здравствуйте...

— Мимо шли, так вот завернули, — объяснял Чеботарев. — Баско робите около зароду, ну, так мы и завернули поглядеть... Этакую-то семью да на пашню бы выгнать: загорелось бы все в руках.

Прежде чем приступить к делу, старички поговорили о разных посторонних предметах, как и следует серьезным людям; не прямо же броситься на человека и хватать его за горло.

— А мы, видно, к тебе, дедушко Тит... — за-

явил нерешительно один голос, когда были проделаны все предварительные церемонии.

— Вижу, этово-тово...

Старый Тит как-то весь съежился и только заморгал глазами.

— Мы, значит, уж к тебе, дедушко, всем миром... послужи миру-то... В ходоки тебя мир выбрал, чтобы обследовать эту самую орду наскрозь.

Тит замотал головой, точно взнузданная лошадь, и пошел на отпор:

— Стар я, этово-тово... Семья у меня во какая, а замениться некем. Нет, уж вы ослобоните меня... Кого помогутнее надо выбрать.

— Нет, мир тебя выбрал... Ты уж не корячься напрасно: без твоего слова не уйдем.

— Посердитовал на меня мир, старички, не по годам моим служба. А только я один не пойду... Кто другой-то?

— Другого уж ты сам выбирай: тебе с ним идти, тебе и выбирать. От Туляцкого конца, значит, ты пойдешь, а от Хохлацкого...

— Вот разе сват... — нерешительно заявлял Тит, поглядывая на попятившегося Коваля.

— Верное твое слово, дедушко; вы сваты,

так заодно идти вам в орду.

Старый Коваль не спорил и не артачился, как Тит: идти так идти... Нэхай буде так!.. Сваты, по обычаю, ударили по рукам. Дело уладилось сразу, так что все повеселели. Только охал один Тит, которому не хотелось оставлять недоконченный покос.

— Коней двенадцать голов, куды я повернусь зимой-то без сена? — повторял он, мотая головой. — Ежели его куплять по зиме, сена-то, так, этово-тово, достатку не хватит...

— Э, сват, буде тебе гвалтувати, — уговаривал Коваль. — Як уведем оба конца в орду, так усе наше сено кержакам зостанется... Нэхай твоему сену!..

Три дня ходил Тит темнее ночи и ничего не говорил своей семье. Его одолевали какие-то тяжелые предчувствия. Он веселел немного только в присутствии старого Коваля, который своим балагурством и хохлацкими «жартами» разгонял туляцкую скуку. Сваты даже уехали с покоса и за разговорами проводили время в кабаке у Рачителихи. На Тита нападали сомнения: как да что? Выпитая водка несколько ободряла его, но это ис-

кусственное оживление выкупалось наутро новым приступом малодушия. Раз он не вытерпел и заявил Ковалю решительным тоном:

— Нет, сват, этово-тово, надо сходить к попу посоветовать... Он больше нас знает.

— Пойдем и до попа, — соглашался Коваль, — письменный человек, усе знае...

Поп Сергей жил напротив церкви, в большом пятистенном деревянном доме. Он принял ходоков ласково, как всегда, и первый заговорил:

— Слышал, старички, про ваши затеи... Своего хлеба отведать захотели?

— Так вот мы и пришли, батюшко, к тебе посоветовать.

— Что же, доброе дело: ум — хорошо, а два — лучше того.

Поп усадил гостей и повел длинную, душевную беседу, а ходоки слушали.

— Отсоветовать вам я не могу, — говорил о. Сергей, разгуливая по комнате, — вы подумаете, что я это о себе буду хлопотать... А не сказать не могу. Есть хорошие земли в Оренбургской степи и можно там устроиться, толь-

ко одно нехорошо: молодым-то не понравится тяжелая крестьянская работа. Особенно бабам непривычно покажется... Заводская баба только и знает, что свою домашность да ребят, а там они везде поспевай.

— Это ты верно, батюшко: истварились наши бабы, набаловались и парни тоже... От этого самого и и орду уходим, — говорил Тит. — Верное твое слово.

— Я не говорю: не ездите... С богом... Только нужно хорошо осмотреть все, сообразить, чтобы потом хуже не вышло. Побросаете дома, хозяйство, а там все новое придется заводить. Тоже и урожаи не каждый год бывают... Подумать нужно, старички.

— Так ты уж нам скажи прямо: ехать али не ехать?

— Ничего я не могу вам сказать: ваше дело... Там хорошо, где нас нет.

Долго толковали старики с попом, добиваясь, чтобы он прямо посоветовал им уезжать, но о. Сергей отвечал уклончиво и скорее не советовал уезжать.

— Не могу я вам сказать: уезжайте, — говорил он на прощанье. — После, если выйдет

какая неудача, вы на меня и будете ссылаться. А если я окажу: оставайтесь, вы подумаете, что я о себе хлопочу. Подумайте сами...

Ходоки ушли от попа недовольные, потому что он, видимо, гнул больше на свою сторону.

— Обманывает нас поп, — решил Коваль. — Ему до себя, а не до нас... Грошей меньше буде добывать, як мы в орду уедем.

— И то правда, — согласился Тит. — Не жадный поп, а правды сказать не хочет, это-во-тово. К приказчику разе дойдем?

— А пойдем до приказчика: тот усе окажет... Ему что, приказчику, он жалованье из казны берет.

Старики отправились в господский дом и сначала завернули на кухню к Домнушке. Все же свой человек, может, и научит, как лучше подойти к приказчику. Домнушка сначала испугалась, когда завидела свекра Тита, который обыкновенно не обращал на нее никакого внимания, как и на сына Агапа.

— Да вы садитесь... — упрашивала Домнушка. — Катря, пан дома? — крикнула она на лестницу вверх.

— У кабинети, — ответил сверху голос Ка-

три.

Тит все время наблюдал Домнушку и только покачал головой: очень уж она разъелась на готовых хлебах. Коваль позвал внучку Катрю и долго разговаривал с ней. Горничная испугалась не меньше Домнушки: уж не сватать ли ее пришли старики? Но Домнушка так весело поглядывала на нее своими ласковыми глазами, что у Катри отлегло на душе.

— Эге, гарна дивчина! — повторял Коваль, любуясь внучкой.

Порывшись где-то в залавке, Домнушка достала бутылку с водкой и поставила ее гостям.

— Пожалуйте, дорогие гости, — просила она, кланяясь. — Не обессудьте на угощенье.

— Ото вумная баба! — хвалил Коваль, обрадовавшийся водке.

Старики выпили по две рюмки, но Тит дольше не остался и потащил за собой упиравшегося Коваля: дело делать пришли, а не прохлаждаться у Домнушки.

— Упрямый чоловик... — ворчал Коваль.

Катря провела их в переднюю, куда к ним вышел и сам Петр Елисеич. Он только что

оторвался от работы и не успел снять даже больших золотых очков.

— Ну что, старички, скажете?

Старики после некоторой заминки подробно рассказали свое дело, а Петр Елисеич внимательно их слушал.

— Так вот мы и пришли, этово-тово, — повторял Тит. — Чего ты уж нам окажешь, Петр Елисеич?

Петр Елисеич увел стариков к себе в кабинет и долго здесь толковал с ними, а потом сказал почти то же, что и поп. И не отговаривал от переселения, да и не советовал. Ходоки только уныло переглянулись между собой.

— Так прямого твоего слова не будет, Петр Елисеич? — приставал Тит.

— Трудно сказать, старички, — уклончиво отвечал Мухин. — Съездите, посмотрите и тогда сами увидите, где лучше.

Выйдя от приказчика, старики долго шли молча и повернули прямо в кабак к Рачителихе. Выпив по стаканчику, они еще помолчали, и только потом уже Тит проговорил:

— Из слова в слово, что поп, что приказчик, сват! Этово-тово, правды-то, видно, из

них топором не вырубишь.

— А они ж сговорились, сват, — объяснил Коваль. — Приказчику тоже не велика корысть, коли два конца уйдут, а зостанутся одни кержаки. Кто будет робить ему на фабрике?.. Так-то...

Вообще ходоков охватило крепкое недоверие и к попу и к приказчику. Это чувство укрепило их в решении немедленно отправиться в путь. Об их замыслах знали пока одни старухи, которые всячески их поддерживали: старухи так и рвались к своему хлебу.

Ровно через неделю после выбора ходоков Тит и Коваль шагали уже по дороге в Мурмос. Они отправились пешком, — не стоило маять лошадей целых пятьсот верст, да и какие же это ходоки разъезжают в телегах? Это была трогательная картина, когда оба ходока с котомками за плечами и длинными палками в руках шагали по стороне дороги, как два библейских соглядатая, отправлявшихся высматривать землю, текущую молоком и медом.

— А ты, сват, иди наперед, — шутил Коваль, — а я за тобой, як журавель...

Глава 26

Страда была на исходе, а положение заводских дел оставалось в самом неопределенном виде. Заводские управители ждали подробных инструкций от главного заводоуправления в Мурмосе, а главное заводоуправление в свою очередь ждало окончательной программы из главной конторы в Петербурге. Пока эта контора только требовала все новых и новых справок по разным статьям заводского хозяйства, статистических данных, смет и отчетов. Такая канцелярская политика возмущала до глубины души главного управляющего Луку Назарыча, ненавидевшего вообще канцелярские порядки. Раньше он все дела вершал единолично, а теперь пришлось устраивать съезды заводских управителей, отдельные совещания и просто интимные беседы. Вся эта кутерьма точно обессилила Луку Назарыча: от прежней грозы оставались жалкие развалины.

— Все кончено... — повторял упрямый старик, удрученный крепостным горем. — Да... И ничего не будет! Всем этим подлецам теперь плати... за все плати... а что же Устюжанинову останется?

— Лука Назарыч, вы напрасно так себя обеспокоиваете, — докладывал письмоводитель Овсянников, этот непременный член всех заводских заседаний. — Рабочие сами придут-с и еще нам же поклонятся... Пусть теперь порадуются, а там мы свое-с наверстаем. Вон в Кукарских заводах какую уставную грамоту составили: отдай все...

— На словах-то ты, как гусь на воде...

В течение лета Лука Назарыч несколько раз приезжал в Ключевской завод и вел длинные переговоры с Мухиным.

— Ну, ты, француз, везде бывал и всякие порядки видывал, — говорил он с обычною своею грубостью, — на устюжаниновские денежки выучился... Ну, теперь и помогай. Ежели с крепостными нужно было строго, так с вольными-то вдвое строже. Главное, не надо им поддаваться... Лучше заводы остановить.

Петр Елисеич был другого мнения, которое старался высказать по возможности в самой мягкой форме. В Западной Европе даровой крепостной труд давно уже не существует, а между тем заводское дело процветает благодаря машинам и улучшениям в производстве.

Конечно, сразу нельзя обставить заводы, но постепенно все устроится. Даже будет выгоднее и для заводов эта новая система хозяйства.

— Ну, уж это ты врешь! — резко спорил Лука Назарыч.

— Нет, не вру... сами увидите.

— Первая причина, Лука Назарыч, что мы не обязаны будем содержать ни сирот, ни престарелых, ни увечных, — почтительнейше докладывал Овсянников. — А побочных сколько было расходов: изба развалилась, лошадь пала, коровы нет, — все это мы заводили на заводский счет, чтобы не обессилить народ. А теперь пусть сами живут, как знают...

— Знаю и без тебя...

— Не нужно содержать хлебных и провиантских магазинов, не нужно запасчиков...

— И это знаю!.. Только все это пустяки. Одной поденщины сколько мы должны теперь платить. Одним словом, бросай все и заживо ложись в могилу... Вот француз все своею заграницей утешает, да только там свое, а у нас свое. Машины-то денег стоят, а мы должны

миллион каждый год послать владельцам... И без того заводы плелись кое-как, концы с концами сводили, а теперь где мы возьмем миллион наш?

Последняя вспышка старой крепостной энергии произошла в Луке Назарыче, когда до Мурмоса дошла весть о переселении мочеган и о толках в Кержацком конце и на Самосадке о какой-то своей земле. Лука Назарыч поскакал в Ключевской завод, как на пожар. Он приехал в глухую полночь и не остановился в господском доме, как всегда, а проехал на медный рудник к молодому Палачу. Ранним утром Петр Елисеич потребован был на рудник к ответу. Он предчувствовал налетевшую грозу и отправился на рудник с тяжелым сердцем. Фабрика еще не действовала, и дымилась всего одна доменная печь. С плотины управительский экипаж повернул в Пеньковку с ее кривыми улицами и домишками. Эта часть завода всегда возмущала Петра Елисеича своим убогим видом. Самый рудник стоял в яме, и высокая зеленая труба вечно дымилась, как на фабрике домна. Кругом тянулись целые поленницы из рудничных «чурок» —

деревянные крепи и подставки в шахте. По берегу Березайки шел громадный отвал из пустой породы, добытой из шахты. Во дворе самого рудника чернели неправильные кучи добытой медной руды и поленницы куренного долготья для отопления паровой машины, занимавшей отдельный корпус. Над шахтой горбился деревянный сарай с почерневшею железною крышей, а от него во все стороны разбегались узколинейные подъездные пути, по которым катились ручные вагоны — в шахту с чурками, а из шахты с рудой и пустою породой. В углу рудничного двора приткнулся домик Палача, весело глядевший своими светлыми окнами, зеленою крышей и небольшим палисадником. Петр Елисеич проехал прямо к этому домику, но Лука Назарыч ушел в шахту.

На дворе копошились, как муравьи, рудниковые рабочие в своих желтых от рудничной глины холщовых балахонах, с жестяными блендочками на поясе и в пеньковых прядениках. Лица у всех были землистого цвета, точно они выцвели от постоянного пребывания под землей. Это был жалкий сброд по

сравнению с ключевскою фабрикой, где работали такие молодцы.

— Лука Назарыч в шахте... — повторила несколько раз «приказчица» Анисья, отворившая Мухину дверь.

Это была цветущая женщина, напоминавшая фигурой Домнушку, но с мелкими чертами злого лица. Она была разодета в яркий сарафан из китайки с желтыми разводами по красному полю и кокетливо закрывала нижнюю часть лица концами красного кумачного платка, кое-как накинутого на голову.

Оставив экипаж у дома, Петр Елисеич зашагал к рудничному корпусу, где хрипела работавшая штанговая машина. Корпус был грязный, как и все на медном руднике. Петр Елисеич нашел своего повелителя у отверстия шахты, где кучки рабочих разгружали поднятую из шахты железную бадью прямо в вагон. Лука Назарыч продолжал разговаривать с Палачом, не обращая внимания на поклонившегося ему Мухина, — это был скверный признак... Палач объяснял что-то относительно работавшей водокачки, и Лука Назарыч несколько раз наклонялся к черневшему

отверстию шахты, откуда доносились подавленные хрипы, точно там, в неведомой глубине, в смертельной истоме билось какое-то чудовище. Откуда-то появился рудничный надзиратель, старичок Ефим Андреич, и молча вытянулся пред лицом грозного начальства.

— Ты у меня смотри, сахар... — ласково ворчал Лука Назарыч, грозя Палачу пальцем. — Чурок не жалей, а то упустим шахту, так с ней не развяжешься. И ты, Ефим Андреич, не зевай... голубковскую штольню вода возьмет...

Быстро обернувшись к Мухину, Лука Назарыч как-то визгливо закричал:

— Что у тебя, бунт, а? Добился своего!.. распустил всех!.. Теперь полюбуйся...

— Лука Назарыч...

— Молчать! — завизжал неистовый старик и даже привскочил на месте. — Я все знаю!.. Родной брат на Самосадке смутьянит, а ты ему помогаешь... Может, и мочеган ты не подучал переселяться?.. Знаю, все знаю... в порошок изотру... всех законопачу в гору, а тебя первым... вышибу дурь из головы... Ежели мочегане уйдут, кто у тебя на фабрике будет ра-

ботать? Ты подумал об этом... ты... ты...

Петр Елисеич покраснел, молча повернулся и вышел из корпуса. В первую минуту Лука Назарыч онемел от изумления, потом ринулся было вдогонку за уходившим. Мухиным, но опомнился и как-то только застонал. Он даже зашатался на месте, так что Палач должен был его поддержать.

— Вредно вам, Лука Назарыч... — заботливо проговорил Ефим Андреич, стараясь поддержать старика за рукав осеннего драпового пальто.

— В гору! — хрипел Лука Назарыч, сам не понимая, что говорит.

Рабочие, нагружавшие вагон, смотрели на эту сцену, разинув рты, так что Палач накинулся уже на них.

— А вы что остановились, подлецы?! — заорал он своим протодьяконским басом. — Вот я вас, канальи!..

— В гору!.. — ослабевшим голосом шептал Лука Назарыч, закрывая глаза от охватившей его усталости.

Из корпуса его увели в квартиру Палача под руки. Анисье пришлось и раздевать его и

укладывать в постель. Страшный самодур, державший в железных тисках целый горный округ, теперь отдавался в ее руки, как грудной младенец, а по суровому лицу катились бессильные слезы. Анисья умелыми, ловкими руками уложила старика в постель, взбила подушки, укрыла одеялом, а сама все наговаривала ласковым полушепотом, каким убаюкивают малых ребят.

— Ужо я тебя липовым цветом напою... — лепетала она, подтыкивая одеяло. — Да перцовочкой разотру...

Луку Назарыча трепала жестокая лихорадка, так что стучали зубы. Он плохо понимал, что делалось кругом, и тупым, остановившимся взглядом смотрел куда-то в угол. Палач сидел в кабинете и прислушивался к каждому шороху. Когда мимо него проходила Анисья, он погрозил ей своим кулаком. Для Палача теперь было ясно, что звезда Мухина померкла, и Лука Назарыч не простит ему его дерзости. Следовательно, оставалось только воспользоваться этим удобным случаем, и в голове Палача зароились смелые планы. «Анисья, ты у меня не дыши, а то всю выворо-

чу на левую сторону...» Приказчица старалась изо всех своих бабьих сил и только скалила зубы, когда Палач показывал ей кулаки. Знала она отлично эта кулаки, когда Палач был трезвый, но он пил запоем, и тогда была уже «вся воля» Анисьи.

Домик, в котором жил Палач, точно замер до следующего утра. Расставленные в опасных пунктах сторожа не пропускали туда ни одной души. Так прошел целый день и вся ночь, а утром крепкий старик ни свет ни заря отправился в шахту. Караул был немедленно снят. Анисья знала все привычки Луки Назарыча, и в восемь часов утра уже был готов завтрак, Лука Назарыч смотрел довольным и даже милостиво пошутил с Анисьей.

— Рюмочку анисовки... — предлагал Палач. — Отлично разбивает кровь, Лука Назарыч. Средство испытанное...

— А ты сам что же?

— Не могу, Лука Назарыч... У меня зарок.

— Знаю, знаю... Ты, краля, не давай ему баловаться.

— Кабы слушался он меня, Лука Назарыч...

Палач только повел глазами, как Анисьин

язык точно прилип.

Завтрак вообще удался, и Лука Назарыч повеселел. В окна глядел светлый августовский день. В открытую форточку слышно было, как тяжело работали деревянные штанги. Прогудел свисток первой смены, — в шахте работали на три смены.

— А этого француза я укорочу... — заметил Лука Назарыч, не говоря собственно ни с кем. — Я ему покажу, как со мной разговаривать.

В прихожей осторожно скрипнула дверь, и послышалось тяжелое шептанье.

— Кто там? — окликнул Палач.

— А Луку Назарыча повидать бы, — ответил хриплый голос. — Мы до него пришли...

Палач выскочил в переднюю, чтобы обругать смельчаков, нарушивших завтрак, но так и остановился в дверях с раскрытым ртом: перед ним стояли заводские разбойники Окулко, Челыш и Беспалый. Первая мысль, которая мелькнула в голове Палача, была та, что разбойники явились убить его, но он сейчас же услышал шептанье собравшегося у крыльца народа.

— Нам бы Луку Назарыча...

— Меня? Кто меня спрашивает? — повторял Лука Назарыч и тоже пошел в переднюю.

— Лука Назарыч, не вели казнить, вели миловать, — проговорил Челыш, выступая вперед.

— В чем дело? — удивлялся Лука Назарыч.

— Это наши... заводские разбойники, — объяснил, наконец, Палач, стараясь заслонить собой управляющего.

— Мы до твоей милости, Лука Назарыч, — заговорил Беспалый. — С повинной пришли... Што хошь, то и делай с нами.

— В кандалы! в машинную!.. — заревел Лука Назарыч, поняв, в чем дело. — Лесообъездчиков сюда, конюхов!..

Палач тихонько отвел старика в гостиную и шепотом объяснил:

— Нельзя-с, Лука Назарыч... Не прежняя пора! Надо их отправить в волостное правление, пусть там с ними делаются, как знают...

В Ключевском заводе уже было открыто свое волостное правление, и крепостных разбойников отправили туда. За ними двинулась громадная толпа, так что, когда шли по

плотине, не осталось места для проезда. Разбойники пришли сами «объявиться».

— Вот оно что значит: «и разбойник придет с умиренною душой», — объяснял Петру Елисеичу приезжавший в Мурмос Груздев. — Недаром эти старцы слова-то свои говорят...

Глава 27

Весь Ключевской завод с нетерпением ждал наступления успеньева дня, который, наконец, должен был самым делом выяснить взаимные отношения. Будут ли рабочие работать на фабрике и кто выйдет на работу, — все это оставалось пока неизвестным. Петр Елисеич прежде времени не старался заводить на эту тему никаких разговоров и надеялся, что все обставится помаленьку, при помощи маленьких взаимных уступок. Соединяющим звеном для всех трех концов явилась теперь только что открытая волость, где мужики и собирались потолковать и послушать. Первым старшиной был выбран старик Основа. На волостных сходах много было ненужного галденья, споров и пересудов, но было ясно одно, что весь Кержацкий конец выйдет на работу. Заводоуправление с своей

стороны вывесило в конторе подробное объявление относительно новых поденных плат. Фабричные мастера были довольны ценами.

Накануне успеньева дня в господский дом явились лесообъездчики с заявлением, что они желают остаться на своей службе. Петр Елисеич очень удивился, когда увидел среди них Макара Горбатого.

— А ты как же, Макар? — спрашивал Петр Елисеич.

— А уж так, Петр Елисеич... Как допрежь того был, так и останусь.

— Так... да. Ну, а если отец вернется из орды и Туляцкий конец будет переселяться?

— Пусть переселяется, Петр Елисеич, а мое дело — сторона... Конешно, родителев мы должны уважать завсегда, да только старики-то нас ведь не спрашивали, когда придумали эту самую орду. Ихнее это дело, Петр Елисеич, а я по прежнему...

Должность лесообъездчика считалась доходной, и охотников нашлось бы много, тем более что сейчас им назначено было жалованье — с лошадью пятнадцать рублей в месяц. Это хоть кому лестно, да и работа не тяжелая.

Прошел и успеньев день. Заводские служащие, отдыхавшие летом, заняли свои места в конторе, как всегда, — им было увеличено жалованье, как мастерам и лесообъездчикам. За контору никто и не опасался, потому что служащим, поколениями выраставшим при заводском деле и не знавшим ничего другого, некуда было и деваться, кроме своей конторы. Вся разница теперь была в том, что они были вольные и никакой Лука Назарыч не мог послать их в «гору». Все смотрели на фабрику, что скажет фабрика.

— Пить-есть захотят, так выйдут на работу, а за страду всем подвело животы, — говорил Никитич, весело похаживавший под своею домной.

С раннего утра разное мелкое заводское начальство было уже на своих местах. Еще до свету коморник Слепень пропустил обеих «сестер» — уставщика Корнилу и плотинного Евстигнея, за ними пришел надзиратель Подседельников, известный на фабрике под именем «Ястребка», потом дозорные (Полуэхт Самоварник забрался раньше других), записчик поденных работ Чебаков, магазинер Подсе-

дельников, амбарные Подседельниковы и т. д. Вышли на работу все мастера: обжимочный Пимка Соболев, кричные брательники Гущины и Афонька Туляк, листокатальный мастер Гараська Ковригин, а с ними пришли «ловельщики», «шуровщики», кузнецы, слесаря и т. д. Растворились железные двери громадных корпусов, загремело железо в амбарах, повернулись тяжелые колеса, и вся фабрика точно проснулась после тяжелого летаргического сна. Около дровосушных печей запестрела голосистая толпа поденщиц. Тут были и солдатка Аннушка, и Наташка, и отчаянная Марька, любовница Спирьки Гущина.

— Вот тебе и кто будет робить! — посмеивался Никитич, поглядывая на собравшийся народ. — Хлеб за брюхом не ходит, родимые мои... Как же это можно, штобы этакое обзаведенье и вдруг остановилось? Большие миллионты в него положены, — вот это какое дело!

С Никитичем, цепляясь за полу его кафтана, из корпуса в корпус ходила маленькая Оленка, которая и выросла под домной. Одна в другие корпуса она боялась ходить, потому

что рабочие пели ей нехорошие песни, а мальчишки, приносившие в бураках обед, колотили ее при случае.

— У тебя Оленка-то в подмастерьях ходит? — смеялись над Никитичем другие мастера.

— А разве она помешала кому?.. Оленушка, ты их не слушай, варнаков.

В груди у Никитича билось нежное и чадолюбивое сердце, да и других детей, кроме Оленки, у него не было. Он пестовал свою девочку, как самая заботливая нянька.

Кержацкий конец вышел на работу в полном составе, а из мочеган вышли наполовину: в кричной робил Афонька Туляк, наверху домны, у «хайла», безответный человек Федька Горбатый, в листокатальной Терешка-казак и еще несколько человек. Полуэхт Самоварник обежал все корпуса и почтительно донес Ястребку, кто не вышел из мочеган на работу.

— Придут... — коротко ответил надзиратель, закладывая руки за спину.

— Обнаковенно, Пал Иваныч... Первое дело человеку надобно жрать, родимый мой.

Конечно, фабрику пустить сразу всю было невозможно, а работы шли постепенно. Одни печи нагреть чего стоило... Шуровальщики выбивались из сил, бросая шестичетвертовые поленья в чугунные хайла холодных печей. Сырой чугун «садили» в пудлинговые печи, отсюда он в форме громадного «шмата» поступал под обжимочный молот и превращался в «болванку». Болванка снова нагревалась и прокатывалась «под машиной» в тяжелые полосы сырого железа, которое разрезывалось и нагревалось «складками», поступавшими опять в прокатные машины, превращавшие его в «калязник», и уж из калязника вырабатывалось сортовое железо — полосовое, шинное, кубовое, круглое и т. д. Каждый фунт выработанного железа проходил длинный огненный путь. Тяжело повернулось главное водяное колесо, зажужжали чугунные шестерни, застучали, как железные дятлы, кричные молота, задымились трубы, посыпались искры снопами, и раскаленные добела заслонки печей глядели, как сыпавшие искры глаза чудовища. Пронзительный свист огласил корпуса, и дремавшие по переплетам

крыш фабричные голуби встрепенулись, отвыкнув за лето от грохота, лязга и свиста.

Когда Петр Елисеич пришел в девять часов утра посмотреть фабрику, привычная работа кипела ключом. Ястребок встретил его в доменном корпусе и провел по остальным. В кричном уже шла работа, в кузнице, в слесарной, а в других только еще шуровали печи, смазывали машины, чинили и поправляли. Под ногами уже хрустела фабричная «треска», то есть крупинки шлака и осыпавшееся с криц и полос железо — сор.

— Что же, отлично, если все вышли на работу, — повторял Петр Елисеич, переходя из корпуса в корпус.

Где он проходил, везде шум голосов замирал и точно сами собой снимались шляпы с голов. Почти все рабочие ходили на фабрике в пеньковых прядениках вместо сапог, а мастера, стоявшие у молота или у прокатных станов, — в кожаных передниках, «защитках». У каждого на руке болталась пара кожаных вачег, без которых и к холодному железу не подступишься.

— Почти все вышли в полазну, — доклады-

вал Ястребок.

Полазна — фабричный термин. Работа делилась на двухнедельные «выписки», по которым в конторе производились все расчеты. «Вышел в полазну» в переводе обозначало, что рабочий в срок начал свою выписку, а «прогулял полазну» — не поспел к сроку и, значит, должен ждать следующей «выписки». Фабричная терминология установилась с испокон веку, вместе с фабрикой, и переходила от одного поколения к другому. Петр Елисеич, как всякий заводский человек, горячо любил свою фабрику и теперь с особенным удовольствием ходил по корпусам в сопровождении своей свиты из уставщика, дозорных и надзирателя. Погода менялась, и начал накрапывать осенний мелкий дождичек — сеногной. В ненастье фабрика производила какое-то особенно бодрое впечатление.

На фабрике Петр Елисеич пробыл вплоть до обеда, потому что все нужно было осмотреть и всем дать работу. Он вспомнил об еде, когда уже пробило два часа. Нюрочка, наверное, заждалась его... Выслушивая на ходу какое-то объяснение Ястребка, он большими

шагами шел к выходу и на дороге встретил дурачка Терешку, который без шапки и босой бежал по двору.

— Эй, Иванычи, старайся!.. — кричал Терешка. — А я вас жалованьем... четыре недели на месяц, пятую спать.

Часть III

Глава 28

Получерничка Таисья жила в самом центре Кержацкого конца. Новенькая избушка с белыми ставнями и шатровыми воротами глядела так весело на улицу, а задами, то есть огородом, выходила к пруду. Отсюда видна была и церковь, и фабрика, и господский дом, и базар, и мочеганские избушки, и поднимавшаяся за ними синева невысоких гор. У Таисьи все хозяйство было небольшое, как и сама изба, но зато в этом небольшом царил такой тугой порядок и чистота, какие встречаются только в раскольничьих домах, а здесь все скрашивалось еще монастырскою строгостью. Самосадские и ключевские раскольники хорошо знали дорогу в Таисьину избу, хотя в шутку и называли хозяйку «святою душой

на костылях». Чуть что приключится с кем, сейчас к Таисье, у которой для всякого находилось ласковое и участливое словечко. Особенно одолевали ее бабы, приносившие с собой бесконечные бабьи горести. Много было хлопот «святой душе» с женскою слабостью, но стоило Таисье заговорить своим ласковым полушепотом, как сейчас же все как рукой снимало.

По своему ремеслу Таисья слыла по заводу «мастерицей», то есть домашнею учительницей. Каждое утро к ее избушке боязливо подбегало до десятка ребятишек, и тонкие голоса молитвовались под окошком:

— Господи Исусе, помилуй нас!..

— Аминь!..

«Отдавши» свой мастерской аминь, Таисья дергала за шнурок от щеколды, ворота отворялись, и детвора еще тише появлялась в дверях избы. Клали «начал» и усаживались с деревянными указками за деревянный стол в переднем углу. Изба у Таисьи была маленькая, но такая чистенькая и уютная, точно гнездышко. Лавки выкрашены желтою охрой, полати — синею краской, иконостас в перед-

нем углу и деревянная укладка с книгами в кожаных переплетах — зеленой. На полу лежал чистенький половик домашней работы, а печка скрывалась за ситцевою розовою занавеской. Заходившие сюда бабы всегда завидовали Таисье и, покачивая головами, твердили: «Хоть бы денек пожить эк-ту, Таисьюшка: сама ты большая, сама маленькая...» Да и как было не завидовать бабам святой душеньке, когда дома у них дым коромыслом стоял: одну ребята одолели, у другой муж на руку больно скор, у третьей сиротство или смута какая, — мало ли напастей у мирского человека, особенно у бабы? Даже Груздев, завертывавший иногда к Таисье «с поклончиком», оглядывал любовно ее сиротскую тесноту и смешком говорил: «Кошачье тебе житье, Таисья... Живешь себе, как мышь в норке, а мы и с деньгими-то в другой раз жизни своей не рады!»

— Ох, не ладно вы, родимые мои, выговариваете, — ласково пеняла Таисья, покачивая головой. — Нашли кому позавидовать... Только-только бог грехам нашим терпит!

Дома Таисья ходила в синем нанковом са-

рафане с обшитыми желтой тесемочкой проймами. Всегда белая, из тонкого холста рубашка, длинный темный запон и темный платок с глазками составляли весь костюм. В своих мягких «ступнях» из козловой кожи Таисья ходила неслышными шагами, а дома разгуливала в одних чулках, оставляя ступни, по старинному раскольничьему обычаю, у дверей. Ее красивое, точно восковое лицо смотрело на всех с печальною строгостью, а темные глаза задумчиво останавливались на какой-нибудь одной точке.

«Мастерство» в избушке начиналось с осени, сейчас после страды, и Таисья встречала своих выучеников и выучениц с ременною лестовкой в руках. Эту лестовку хорошо помнили десятки теперь уже больших мужиков, которые, встречаясь с мастерицей, отвешивали ей глубокий поклон. Строгая была мастерица и за всякую оплошку нещадно донимала своею ременною лестовкой плутоватую и ленивую плоть. Но были и свои исключения. Так, Оленка, дочь Никитича, пользовалась в избушке тетки большими преимуществами, и ей многое сходило с рук. Девочка осталась

без матери, отец вечно под своею домной, а в праздники всегда пьян, — все это заставляло Таисью смотреть на сироту, как на родную дочь. Лестовка поднималась и падала, не нанося удара, а мастерица мучилась про себя, что потакает племяннице и растит в ней своего врага. Выученики тоже старались по-своему пользоваться этою слабостью Таисьи и валили на Оленку всякую вину: указка сломается, лист у книги изорвется, хихикнет кто не во-время, — Оленка все принимала на себя. У ней была добрая отцовская душа.

Стояла глубокая осень. Первый снег прикрыл загрязнившуюся осенью землю. Пал он «по мокру», и первый санный путь установился сейчас же. Дома точно сделались ниже, стал заводский пруд, и только одна бойкая Березайка все еще бурлила потемневшею холодною водой. Мягкий белый снег шел по целым дням, и в избушке Таисьи было особенно уютно. Накануне Михайлова дня Таисья попридержала учеников долее обыкновенного. К снегу у ней ломило поясницу, и лестовка поощряла ленивую плоть с особенною энергией. Ребятишки громко выкрикивали свои

«урки» и водили указками кто по часовнику, кто по псалтырю. Громче всех вычитывала Оленка, проходившая уже восьмую кафизму. Она по десяти раз прочитывала одно и то же место, закрывала глаза и старалась повторить его из слова в слово наизусть. Звонкие детские голоса выводили слова протяжно и в нос, как того требует древлее благочестие.

— Нет, врешь!.. — останавливал голос с полатей кого-нибудь из завравшихся выучеников. — Говори сызнова... «и на пути нечестивых не ста»... ну?..

На полатях лежал Заболотский инок Кирилл, который частенько завертывал в Таисьину избушку. Он наизусть знал всю церковную службу и наводил на ребят своею подавляющею ученостью панический страх. Сама Таисья возилась около печки с своим бабьим делом и только для острастки появлялась из-за занавески с лестовкой в руках.

— Ты чего путаешь-то слово божие, родимый мой? — говорила она, и лестовка свистела в воздухе.

Опять монотонное выкрикиванье непонятных церковных слов, опять кто-то соврал,

и Кирилл, продолжая лежать, кричит:

— Эй, мастерица, окрести-ка лестовкой Оленку, штобы не иначила писание!

Для видимости Таисья прикрикивала и на Оленку, грозила ей лестовкой и опять уходила к топившейся печке, где вместе с водой кипели и варились ее бабьи мысли. В это время под окном кто-то нерешительно постучал, и незнакомый женский голос помолитвовался.

— Аминь! — ответила Таисья, выглядывая в окно. — Да это ты, Аграфена, а я и не узнала тебя по голосу-то.

— К тебе, матушка, пришла... — шепотом ответила Аграфена; она училась тоже у Таисьи и поэтому величала ее матушкой. — До смерти надо поговорить с тобой.

— Прибежала, так, значит, надо... Иди ужо в заднюю избу, Грунюшка.

Начетчица дернула за шнурок и, не торопясь, начала надевать ступни, хотя ноги не слушались ее и попадали все мимо.

— От Гущиных? — спросил Кирилл с полатей.

— От них.

В сенях она встретила гостью и молча по-

вела в заднюю избу, где весь передний угол был уставлен «меднолитыми иконами», складнями и врезанными в дерево медными крестами. Беспоповцы не признают писанных на дереве икон, а на крестах изображений св. духа и «титлу»: И. Н. Ц. И. Высокая и статная Аграфена и в своем понитке, накинутом кое-как на плечи, смотрела красавицей, но в ее молодом лице было столько ужаса и гнетущей скорби, что даже у Таисьи упало сердце. Положив начал перед иконами, девушка с глухими причитаниями повалилась мастерице в ноги.

— Матушка... родимая... смертынька моя пришла... — шептала она, стараясь обнять ноги Таисьи, которая стояла неподвижно, точно окаменела.

Такие сцены повторялись слишком часто, чтобы удивить мастерицу, но теперь валялась у ней в ногах Аграфена, первая заводская красавица, у которой отбоя от женихов не было. Объяснений не требовалось: девичий грех был налицо.

— С кем? — коротко спросила Таисья, не отвечая ни одним движением на ползавшее у

ее ног девичье горе.

Аграфена вдруг замолкла, посмотрела испуганно на мастерицу своими большими серыми глазами, и видно было только, как вся она дрожала, точно в лихорадке.

— Тебя спрашивают: с кем?

— Ох, убьют меня братаны-то... как узнают, сейчас и убьют... — опять запричитала Аграфена и начала колотиться виноватою головой о пол.

Страшная мысль мелькнула в голове Таисьи, и она начала поднимать обезумевшую с горя девушку.

— Опомнись, Грунюшка... — шептала она уже ласково, стараясь заглянуть в лицо Аграфене. — Што ты, родимая моя, убиваешься уж так?.. Может, и поправимое твое дело...

— Матушка, убей меня... святая душенька, лучше ты убей: все равно помирать...

— С Макаркой Горбатым сведалась? — тихо спросила Таисья и в ужасе отступила от преступницы. — Не будет тебе прощенья ни на этом, ни на том свете. Слышишь?.. Уходи от меня...

Это был еще первый случай, что кержанка

связалась с мочеганином, да еще с женатым. Между своими этот грех скоро сматывали с рук: если самосадская девка провинится, то увезут в Заболотье, в скиты, а родне да знакомым говорят, что ушла гостить в Ключевской; если с ключевской приключится грех, то сошлются на Самосадку. Так дело и сойдет само собой, а когда грешная душа вернется из скитов, ее сейчас и пристроят за какого-нибудь вдового, детного мужика. У беспоповцев сводные браки совершаются, как и расторгаются, очень легко. Но здесь было совсем другое: от своих не укроешься, и Аграфене деваться уже совсем некуда. А тут еще брательники узнают и разорвут девку на части.

— Что же я с тобой буду делать, горюшка ты моя? — в раздумье шептала Таисья, соображая все это про себя.

Она припомнила теперь, что действительно Макар Горбатый, как только попал в лесообъездчики, так и начал сильно дружить с кержаками. Сперва, конечно, в кабаке сходились или по лесу вместе ездили, а потом Горбатый начал завертывать и в Кержацкий конец. Нет-нет, да и завернет к кому-нибудь из

лесообъездчиков, а тут Гущины на грех подвернулись: вместе пировали брательники с лесообъездчиками, ну и Горбатый с ними же увязался. Кто-то и говорил Таисье, что кержаки грозятся за что-то на мочеганина, а потом она сама видела, как его до полусмерти избили на пристани нынешним летом. Вот он зачем повадился, мочеганский пес, да и какую девку-то обманул... От этих мыслей у мастерицы опять закипело сердце, и она сердито посмотрела на хныкавшую Аграфену. Прилив нежности сменился новым ожесточением.

— Ступай, ступай, голубушка, откуда пришла! — сурово проговорила она, отталкивая протянутые к ней руки. — Умела гулять, так и казнись... Не стало тебе своих-то мужиков?.. Кабы еще свой, а то наслушат теперь мочегане и проходу не дадут... Похваляться еще будут твоею-то бедой.

— Матушка... родимая... Не помню я, как и головушка моя пропала!.. Так, отемнела вся... в страду он все ездил на покос к братанам... пировали вместе...

— А вот за гордость тебя господь и наказал: красотою своей гордилась и женихов гоня-

ла... Этот не жених, тот не жених, а красота-то и довела до конца. С никонианином спуталась...[386] да еще с женатым... Нет, нет, уходи лучше, Аграфена!

— Матушка, не гони, руки на себя наложу.

— Молчи, беспутная!.. на бога подымаешься: приняла грех, так надо терпеть.

Аграфена опять горько зарыдала, закрыв лицо руками. Таисья села на лавку и, перебирая лестовку, безучастно смотрела на убивавшуюся грешницу. Ей было и обидно и горько, и она напрасно старалась подавить в себе сочувствие к этой несчастной. А как узнают на Самосадке про такой случай, как пойдут на фабрике срамить брательников Гущиных, — изгибнет девка ни за грош. Таисье сделалось даже страшно, точно все это ожидало не Аграфену, а ее, мастерицу... А девка-то какая: чистяк, кровь с молоком, и вдруг погубила себя из-за какого-то мочеганина.

— И его убьют, матушка... — шептала Аграфена. — Гоняется он за мной... Домна-то, которая в стряпках в господском доме живет, уже нашептывает братану Спирьке, — она его-таки подманила. Она ведь из ихней семьи, из

Горбатовской... Спирька-то уж, надо полагать, догадался, а только молчит. Застрелют они Макара...

— Собаке собачья и смерть!.. Женатый человек да на этакое дело пошел... тьфу!.. Чужой головы не пожалел — свою подставляй... А ты, беспутная, его же еще и жалеешь, погубителя-то твоего?

— Голубушка, матушка... Ничего я не знаю... затемнилась вся...

Таисья отвернулась к окну и незаметно вытерла непрошенную старческую слезу: Аграфенино несчастье очень уж близко пришлось к ее сердцу, хотя она и не выдавала себя.

— Вот што, Аграфена, ты теперь поди-ка домой, — строго заговорила Таисья, сдерживая свою бабью слабость, — ужо вечерком заверну.

— Нельзя мне идти, матушка... смерть моя пришла... Ворота-то у нас...

— Што-о?.. Осередь белого дня?..

— Сноха даве выглянула за ворота, а они в дегтю... Это из нашего конца кто-нибудь мазал... Снохи-то теперь ревмя-ревут, а я домой

не пойду. Ох, пропала моя головушка!..

Глава 29

— Что случилось? — спрашивал с полатей инок Кирилл, когда вернулась Таисья из задней избы.

— Ничего… так…

— Все у вас, баб, так!

Инок отлично слышал, как убивалась Аграфена, и сразу понял, в чем дело. Ему теперь доставляло удовольствие помучить начетчицу: пусть выворачивается, святая душа! «Ох, уж только и бабы эти самые, нет на них погибели! — благочестиво размышлял он, закрывая глаза. — Как будто и дело говорит и форцу на себя напустит, а ежели поглядеть на нее, так все-таки она баба… С грешком, видно, прибегала к матушке Аграфена-то, — у всех девок по Кержацкому концу одно положение». От баб и поговорка такая идет по боголюбивым народам: «не согрешишь — не спасешься». А Таисья в это время старалась незаметно выпроводить своих учеников, чтобы самой в сумерки сбегать к Гущиным, пока брательники не пришли с фабрики, — в семь часов отбивает Слепень поденщину, а к этому

времени надо увернуться. Пока Аграфена была заперта на висячий замок в задней избе.

— Прости, матушка, благослови, матушка! — нараспев повторяли тонкие детские голоса уходивших с учебы ребят.

— Бог тебя простит, бог благословит! — машинально повторяла Таисья, провожая детвору.

Когда ребята ушли, заболотский инок спустился, не торопясь, с полатей, остановился посредине избы, посмотрел на Таисью и, покрутив головой, захохотал.

— Чему обрадовался-то прежде времени? — оборвала его мастерица.

— Глупость ваша бабья, вот что!.. И туда и сюда хвостом вертите, а тут вам сейчас и окончание: «Ой, смертынька, ой, руки на себя наложу!» Слабость-то своя уж очень вам сладка... Заперла на замок девушку?

— Замолол!.. Не твоего это ума дело!..

— И то не моего, — согласился инок, застегивая свое полукафтанье. — Вот што, Таисья, зажился я у тебя, а люди, чего доброго, еще сплетни сплетут... Нездоровится мне што-то, а то хоть сейчас бы со двора долой. Один грех

с вами...

Таисья отлично понимала это иноческое смирение. Она скрылась за занавеской, где-то порылась, где-то стукнула таинственною дверкой и вышла с бутылкой в руках. Сунув ее как-то прямо в физиономию иноку, она коротко сказала:

— На, жри, ненасытная утроба!

— А закуска будет, святая душа? — еще смиреннее спрашивал Кирилл. — Капустки бы али редечки с конопляным маслом... Ох, горе душам нашим!

Опять Таисья исчезла, опять послышалась таинственная возня, а в результате перед иноком появилась тарелка с свежепросольною капустой.

— Согрешила я, грешная, с вами, с Заболотскими иноками! — ворчала Таисья. — Одного вина не напасешься на вас.

Старец Кирилл зевнул, разгладил усы, выпил первую рюмку и благочестиво вздохнул. Уплетая капусту, он терпеливо выслушивал укоризны и наговоры Таисьи, пока ей не надоело ругаться, а потом деловым тоном проговорил:

— Видно, твоей Аграфене не миновать нашего Заболотья... Ничего, я увезу по первопутку-то, а у Енафы примет исправу. А ежели што касаемо, например, ребенка, так старицы управятся с ним в лучшем виде.

— Я сама повезу... Давно не видалась со скитскими-то, пожалуй, и соскучилась, а оно уж за попутьем, — совершенно спокойно, таким же деловым тоном ответила Таисья. — Убивается больно девка-то, так оземь головой и бьется.

— Знамо дело, убивается, хошь до кого доведись. Только напрасно она, — девичий стыд до порога... Неможется мне что-то, Таисьюшка, кровь во мне остановилась. Вот што, святая душа, больше водки у тебя нет? Ну, не надо, не надо...

Таисью так и рвало побежать к Гущиным, но ей не хотелось выдавать себя перед проклятым Кириллом, и она нарочно медлила. От выпитой водки широкое лицо инока раскраснелось, узенькие глазки покрылись маслом и на губах появилась блуждающая улыбка.

— Ты в самом-то деле уходил бы куда ни

на есть, Кирило, — заметила Таисья, стараясь сдержать накипевшую в ней ярость. — Мое дело женское, мало ли што скажут...

— Больше того не скажут, што было! — отрезал Кирилл и даже стукнул кулаком по столу. — Што больно гонишь? Видно, забыла про прежнее-то?.. Не лучше Аграфены-то была!

Этим словом инок ударил точно ножом, и Таисья даже застонала. Ухватив второпях старую шубенку на беличьем меху, она выбежала из избы. У ней даже захватило дух от подступивших к горлу слез. Опомнилась она уже на улице, где ее прохватило холодком. На скорую руку вытерла она свои непрошенные слезы кулаком, опнулась около своих ворот и еще раз всплакнула. Снег так и валил мягкими хлопьями. В избе Никитича, стоявшей напротив, уже горел огонь. Славная была изба у Никитича, да только стояла она как нетопленая печь, — не было хозяйки. Еще раз вытерев слезы, Таисья быстро перешла на другой порядок и, как тень, исчезла в темноте быстрого зимнего вечера. Она плохо сознавала, что делает и что должна сделать, но вместе с тем отлично знала, что должна все устроить,

и устроить сейчас же. В ней билась практическая бабья сметка. У ворот Пимки Соболева стояла чья-то заседланная лошадь. Таисья по скорости наткнулась на нее и только плюнула: нехороший знак... До Гущиных оставалось перебежать один кривой узенький переулок, уползавший под гору к пруду. Вот и высокий конек гущинского двора. Брательники жили вместе. Во всем Кержацком конце у них был лучший двор, лучшие лошади и вообще все хозяйство. Богато жили, одним словом, и в выписку втроем теперь зарабатывали рублей сорок. Жить бы да радоваться Аграфене из-за брательников, а она вон что придумала... Новые тесовые ворота действительно были вымазаны дегтем, и Таисья «ужахнулась» еще раз. Она постучалась в окошко и помолитвовалась. В избе огня не было и «аминь отдали» не скоро.

— Это я... я... — повторяла Таисья, когда в волоковом оконце показалась испуганная бабья голова.

— Ах ты, наша матушка!..

Где-то быстро затопали босые бабьи ноги, отодвинулся деревянный засов, затворявший

ворота, и Таисья вошла в темный двор.

— Матушка ты наша... — жалобно шептал в темноте женский голос.

— Это ты, Парасковья? — тоже шепотом спросила Таисья. — Аграфена у меня.

— Ох, матушка... пропали мы все... всякого ума решились. Вот-вот брательники воротятся... смертынька наша... И огня засветить не смеем, так в потемках и сидим.

Мужики были на работе, и бабы окружили Таисью в темноте, как испуганные овцы. У Гущиных мастерицу всегда принимали, как дорогую гостью, и не знали, куда ее усадить, и чем потчевать, и как получше приветить. Куда бы эти бабы делись, если бы не Таисья: у каждой свое горе и каждая бежала к Таисье, чуть что случится. Если мастерица и не поможет избыть беду, так хоть поплачет вместе... У Парасковьи муж Спирька очень уж баловался с бабами: раньше путался с Марькой, а теперь ее бросил и перекинулся к приказчичьей стряпке Домнушке; вторая сноха ссорилась с Аграфеной и все подбивала мужа на выдел; третья сноха замаялась с ребятами, а меньшак-брательник начал зашибать вод-

кой. Пятистенная изба гущинского двора холодными сенями делилась на две половины: в передней жил Спирька с женой и сестрой Аграфеной, а в задней середняк с меньшаком. Была еще подсарайная, где жил третий брательник.

— Как же быть-то, милые? — повторяла Таисья, не успевая слушать бабьи жалобы. — Первое бы дело огоньку засветить...

— Што ты, матушка!.. Страшно... сидим в потемках да горюем. Ведь мазаные-то ворота всем бабам проходу не дают, а не одной Аграфене...

— Так вот што, бабоньки, — спохватилась Таисья, — есть горячая-то вода? Берите-ка вехти[387] да песку, да в потемках-то и смоем деготь с ворот.

— Ох, матушка, да где же его смоешь?

— Сколько-нибудь да смоется... Скоро на фабрике отдадут шабаш, так надо торопиться. Да мыльце захватите...

— И то, матушка, надо торопиться.

Бабы бросились врассыпную и принялись за ворота.

— А он, Макарко-то, ведь здесь! — сообщи-

ла Парасковья, работая вехтем над самым большим дегтяным пятном.

— Как здесь? — удивилась Таисья, помогавшая бабам работать.

— А видела лошадь-то у избы Пимки Соболева? Он самый и есть... Ужо воротятся брательники, так порешат его... Это он за Аграфеной гонится.

— Тьфу! — отплюнулась Таисья, бросая работу. — Вот што, бабоньки, вы покудова орудуйте тут, а я побегу к Пимке... Живою рукой обернусь. Да вот што: косарем[388] скоблите, где дерево-то засмолело.

— Как же мы одни-то останемся, матушка? — взмолились бабы не своим голосом.

— Сейчас приду, сказала, — ответил голос исчезнувшей в темноте Таисьи.

Она торопливо побежала к Пимкиной избе. Лошадь еще стояла на прежнем месте. Под окном Таисья тихонько помолитвовалась.

— Чего тебе понадобилось? — спрашивал сам хозяин, высовывая свою пьяную башку в волоковое окно, какое было у Гущиных. — Ишь как ускорилась... запыхалась вся...

— Вышли-ка ты мне, родимый мой, Мака-

ра Горбатого... Словечко одно мне надо бы ему сказать. За ворота пусть выдет...

— Нету ево...

— А лошадь чья у ворот стоит?

Таисье пришлось подождать, пока пьяный Макар вышел за ворота. Он был без шапки, в дубленом полушубке.

— Макарушко, поезжай-ка ты подобру-поздорову домой... Слышишь? — ласково заговорила Таисья.

— Н-но-о?

— Я тебе говорю: лучше будет... Неровен час, родимый мой, кабы не попритчилось чего, а дома-то оно спокойнее. Да и жена тебя дожидается... Славная она баба, а ты вот пируешь. Поезжай, говорю...

Пьяный Макар встряхивал только головой, шатался на месте, как чумной бык, и повторял:

— А ежели, например, у меня свое дело?.. Никого я не боюсь и весь ваш Кержацкий конец разнесу... Вот я каков есть человек!

— Знаем, какое у тебя дело, родимый мой... Совсем хорошее твое дело, Макарушко, ежели на всю улицу похваляешься. Про худые-то де-

ла добрые люди молчат, а ты вон как пасть разинул... А где у тебя шапка-то?

Не дожидаясь согласия, Таисья в окно вытребовала шапку Макара, сама надела ее на его пьяную башку, помогла сесть верхом, отвязала повод и, повернув лошадь на выезд, махнула на нее рукой.

— Кышь, ты, Христова скотинка! — по-бабьи понукала она лошадь, точно отгоняла курицу. — С богом, родимый мой...

Когда, мотаясь в седле, Макар скрылся, наконец, из вида, Таисья облегченно вздохнула, перекрестилась и усталою, разбитою походкой пошла опять к гущинской избе. Когда она подходила к самым воротам, на фабрике Слепень «отдал шабаш», — было ровно семь часов. Отмывавшие на воротах деготь бабы до того переполошились, что побросали ведра, вехти, косари и врассыпную бросились во двор... Сейчас пойдут рабочие по улице и все увидят мазаные ворота, — было чего испугаться. Не потерялась одна Таисья и с молитвой подбирала разбросанные бабами ведра. «Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его...» — вычитывала она вслух.

— Гли-ко, девоньки, ворота-то у Гущиных! — крикнул чей-то девичий голос через улицу.

Как на грех, снег перестал идти, и в белом сиянии показался молодой месяц. Теперь весь позор гущинского двора был на виду, а замываньем только размазали по ним деготь. Крикнувший голос принадлежал поденщице Марьке, которая возвращалась с фабрики во главе остальной отпетой команды. Послышался визг, смех, хохот, и в Таисью полетели комья свежего снега.

— Тьфу, вы, окаянные! — ругалась она, захлопывая ворота.

— Вот как ноне честные-то девушки поживают! — орала на всю улицу Марька, счастливая позором своего бывшего любовника. — Вся только слава на нас, а отецкие-то дочери потихоньку обгуливаются... Эй ты, святая душа, куда побежала?

Когда брательники Гущины подошли к своему двору, около него уже толпился народ. Конечно, сейчас же началось жестокое избиение расстервенившимися брательниками своих жен: Спирька таскал за волосы по все-

му двору несчастную Парасковью, середняк «утюжил» свою жену, третий брательник «колышматил» свою, а меньшак смотрел и учился. Заступничество Таисьи не спасло баб, а только еще больше разозлило брательников, искавших сестру по всему дому.

— Убить ее, бестию, мало! — орал Спирька, бегая по двору с налитыми кровью глазами.

Глава 30

На заимке Основы приветливо светился огонек. Она стояла на самом берегу р. Березайки, как раз напротив медного рудника Крутяша, а за ней зеленою стеной поднимался настоящий лес. Отбившись от коренного жила, заимка Основы оживляла пустынный правый берег, а теперь, когда все кругом было покрыто снеговым покровом, единственный огонек в ее окне точно согревал окружавшую мглу. Зимой из Кержацкого конца на заимку дорога шла через Крутяш, но теперь Березайка еще не замерзла, а лубочные пошевни Таисьи должны были объехать заводскою плотиной, повернуть мимо заводской конторы и таким образом уже попасть на правый берег. Небольшая пегая лошадка бойко летела по

только что укатанной дороге. Правила сама Таисья умелою рукой, и пегашка знала ее голос и весело взмахивала завесистою гривой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхала Таисья, понукая пегашку.

Рядом с ней сидела Аграфена, одетая по-зимнему, в нагольный тулуп. Она замерла от страха и все прислушивалась, нет ли погони.

— Матушка... смертынька... — шептала она, когда назади слышался какой-нибудь стук.

— Это на фабрике, милушка... Да и брательникам сейчас не до тебя: жен своих увечат. Совсем озверели... И меня Спирька-то в шею чуть не вытолкал! Вот управятся с бабами, тогда тебя бросятся искать по заводу и в первую голову ко мне налетят... Ну, да у меня с ними еще свой разговор будет. Не бойся, Грунюшка... Видывали и не такую страсть!

Когда пошевни подъехали к заимке, навстречу бросились две больших серых собаки, походивших на волков. На их отчаянный лай и рычанье в окне показалась голова самого хозяина.

— Кто крещеный? — спросил он.

— Свои, Аника Парфеныч, — коротко ответила Таисья, не вылезая из пошевней. — Отопри-ка нам поскорее ворота, родимый мой... Дельце есть до тебя небольшое.

— А я тебя и не признал как будто, Таисьюшка... Што больно ускорилась? Лысан, цыц!.. Куфта... у, живорезы!..

Старик сам отворил ворота, и пошевни въехали на большой, крытый по-раскольничьи, темный двор. Заимка Основы была выстроена вроде деревянной крепости, и ворота были всегда заперты, а собаки никому не давали проходу даже днем. Широкая пятистенная изба незаметно переходила в другие пристройки, из которых образовался крепкий деревянный четырехугольник. Тут были и конюшни, и амбары, и кладовые, и какие-то таинственные клетушки, как во всех раскольничьих постройках. Вся эта хозяйственная городьба пряталась под сплошною деревянною крышей.

Завидев незнакомую женщину, закрывавшуюся тулупом, Основа ушел в свою переднюю избу, а Таисья провела Аграфену в заднюю половину, где была как у себя дома.

Немного погодя пришел сам Основа с фонарем в руке. Оглядев гостью, он не подал и вида, что узнал ее.

— На перепутье завернули! — объясняла Таисья уклончиво. — Мне бы с тобой словечком перемолвиться, Аника Парфеныч. Вишь, такое дело доспело, што надо в Заболотье проехать... Как теперь болотами-то: поди, еще не промерзли?

— Чистое не промерзло, а ежели с Самосадки в курени повернуть, так можно его и объехать.

— Слыхали, а бывать этою дорогой не доводилось.

Аграфена сидела у стола, повернувшись к разговаривавшим спиной. Она точно вся онемела.

— Так я вот что тебе скажу, родимый мой, — уже шепотом проговорила Таисья Основе, — из огня я выхватила девку, а теперь лиха беда схорониться от брательников... Ночью мы будем на Самосадке, а к утру, к свету, я должна, значит, воротиться сюда, чтобы на меня никакой заметки от брательников не вышло. Так ты сейчас же этого инока Кирил-

ла вышли на Самосадку: повремени этак часок-другой, да и отправь его...

— Понимаем...

— Только и всего. А с Самосадки уж как-нибудь...

— И это понимаем, Таисьюшка... Тоже и у нас бывали рога в торгу. На исправу везешь девушку?

— Около того...

— Ну, твое дело, а я этого Кирилла живою рукой подмахну. Своего парня ужо пошлю на рыжке.

— Уж послужи, Аника Парфеныч, сосчитаемся...

Опять распахнулись ворота заимки, и пошевни Таисьи стрелой полетели прямо в лес. Нужно было сделать верст пять околицы, чтобы выехать на мост через р. Березайку и попасть на большую дорогу в Самосадку. Пегашка стояла без дела недели две и теперь летела стрелой. Могутная была лошадка, точно сколоченная, и не кормя делала верст по сту. Во всякой дороге бывала. Таисья молчала, изредка посматривая на свою спутницу, которая не шевелилась, как мертвая.

— Грунюшка, уж ты жива ли? — спросила Таисья, когда пошевни покатились по широкой самосадской дороге.

— Жива, матушка...

Голос Аграфены вдруг дрогнул, и она завсхлипывала.

— О чем ты, милушка?

— Матушка, родимая, не поеду я с этим Кириллом... Своего страму не оберешься, а про Кирилла-то што говорят: девушник он. Дорогой-то он в лесу и невесть што со мной сделает...

Закрыв лицо руками, Аграфена горько зарыдала.

— Вот вы все такие... — заворчала Таисья. — Вы гуляете, а я расхлебывай ваше-то горе. Да еще вы же и топорщитесь: «Не хочу с Кириллом». Было бы из чего выбирать, милушка... Старца испугалась, а Макарки поганого не было страшно?.. Весь Кержацкий конец осрамила... Неслыханное дело, чтобы наши кержанки с мочеганами вязались...

Долго выговаривала Таисья несчастной девушке, пока та не перестала плакать и не проговорила:

— Матушка, как ты накажешь: вся твоя...

— Так-то лучше будет, милушка! Нашими бабьими слезами реки бы прошли, кабы им вера была...

У Таисьи не раз у самой закипали слезы, но она сдерживала свою бабью жалость, чтобы еще больше не «расхмелить» девку. Тогда она говорила с ней суровым тоном, и Аграфена глотала слезы, инстинктивно подчиняясь чужой воле. Таисья теперь думала о том, как бы благополучно миновать куренную поверткy, которая выходила на самосадскую дорогу в половине, — попадутся куренные, как раз узнают по пегашке и расскажут брательникам. Как на грех, и ночь выяснела. Снег перестал идти, и мороз крепчал. Дорога была скатертью, и Таисья все понукала свою бойкую лошадку. Лес кругом дороги вырублен, и видно далеко вперед. В одном месте Таисья совсем напугалась, когда завидела впереди несколько возов. Но, к счастью, это были не куренные, а порожняки транспортные, возившие на Самосадку железо, а оттуда возвращавшиеся с рудой. Транспортные в Ключевском заводе были все чужие и мало знали Та-

исью. Когда проехали, наконец, повертку, Таисья вздохнула свободнее: половина беды избылась сама собой. Теперь пегашка бежала уже своею обыкновенною рысью, и Таисья скоро забыла о ней. Аграфена тупо смотрела по сторонам и совсем не узнавала дороги, на которой бывала только летом: и лесу точно меньше, и незнакомые объезды болотами, и знакомых гор совсем не видать.

Двадцать верст промелькнули незаметно, и когда пошевни Таисьи покатились по Самосадке, в избушках еще там и сям мелькали огоньки, — значит, было всего около девяти часов вечера. Пегашка сама подворотила к груздевскому дому — дорога знакомая, а овса у Груздева не съесть.

— Самого Самойла Евтихыча нету... — заявил караульщик.

Это было на руку Таисье: одним глазом меньше, да и пошутить любил Самойло Евтихыч, а ей теперь совсем не до шуток. Дома оставалась одна Анфиса Егоровна, которая и приняла Таисью с обычным почетом. Хорошо было в груздевском доме летом, а зимой еще лучше: тепло, уютно, крепко.

— Ты нас в горницы не води, — предупредила Таисья хозяйку, — не велики гости... Только обогреться завернули да обождать самую малость.

Анфиса Егоровна привыкла к таким таинственным появлениям Таисьи и без слова провела ее в светелку наверх, где летом привязана была Оленка. Хозяйка мельком взглянула на Аграфену и, как Основа, сделала вид, что не узнала ее.

— Озябли мы, родимая, — говорила Таисья, чтобы отвлечь внимание Анфисы Егоровны. — Женское дело: скудельный сосуд...

— Чайку разе напьетесь?..

— Грешна, родимая, в дороге испиваю, да вот и товарка-то моя от стужи слова вымолвить не может...

— Так я уж сюда самоварчик-то, Таисьюшка, велю принести... Оно способнее, потому как совсем на устороньe. Самойло-то Евтихыч еще третьева дни угнал в Мурмос. Подряды у него там на постройку коломенок.

Аграфену оставили в светелке одну, а Таисья спустилась с хозяйкой вниз и уже там в коротких словах обсказала свое дело. Анфиса

Егоровна только покачивала в такт головой и жалостливо приговаривала: «Ах, какой грех случился... И девка-то какая, а вот попутал враг. То-то лицо знакомое: с первого раза узнала. Да такой другой красавицы и с огнем не сыщешь по всем заводам...» Когда речь дошла до ожидаемого старца Кирилла, который должен был увезти Аграфену в скиты, Анфиса Егоровна только всплеснула руками.

— А как же Енафа-то? — проговорила она.

— Ихнее дело, матушка, Анфиса Егоровна, — кротко ответила Таисья, опуская глаза. — Не нам судить ихние скитские дела... Да и деваться Аграфене некуда, а там все-таки исправу примет. За свой грех-то муку получать... И сама бы я ее свезла, да никак обернуться нельзя: первое дело, брательники на меня накинутся, а второе — ущитить надо снох ихних. Как даве принялись их полоскать — одна страсть... Не знаю, застану их живыми аль нет. Бабенок-то тоже надо пожалеть...

Когда Таисья принесла самовар в светелку, Аграфена отрицательно покачала головой.

— Не буду я, матушка, чаи эти пить, не

обычна, — прошептала она.

— Ну, милушка, теперь уж твоя часть такая: как велят, — строго ответила Таисья, поджимая губы, — она любила испить чайку. — Не умела своей волей жить, так надо уметь слушаться.

Аграфене случалось пить чай всего раза три, и она не понимала в нем никакого вкуса. Но теперь приходилось глотать горячую воду, чтобы не обидеть Таисью. Попав с мороза в теплую комнату, Аграфена вся разгорелась, как маков цвет, и Таисья невольно залюбовалась на нее; то ли не девка, то ли не писаная красавица: брови дугой, глаза с поволокой, шея как выточенная, грудь лебяжья, таких, кажется, и не бывало в скитах. У Таисьи даже захолонуло на душе, как она вспомнила про инока Кирилла да про старицу Енафу.

Не успели они кончить чай, как в ворота уже послышался осторожный стук: это был сам смиренный Кирилл... Он даже не вошел в дом, чтобы не терять напрасно времени. Основа дал ему охотничьи сани на высоких копылах, в которых сам ездил по лесу за оленями. Рыжая лошадь дымилась от пота, но это

ничего не значило: оставалось сделать всего верст семьдесят. Таисья сама помогала Аграфене «оболокаться» в дорогу, и ее руки тряслись от волнения. Девушка покорно делала все, что ей приказывали, — она опять вся застыла.

— Около крещенья приеду тебя проведать, — шепнула Таисья, благословляя ее на прощанье. — С богом, касатушка!

Аграфена плохо помнила, как она вышла из груздевского дома, как села в сани рядом с Кириллом и как исчезла из глаз Самосадка. Таисья выбежала провожать ее за ворота в одном сарафане и стояла все время, пока сани спускались к реке, объехали караванную контору и по льду мелькнули черною точкой на ту сторону, где уползала в лес змеей лесная глухая дорожка. Река Каменка покрывалась льдом раньше бойкой Березайки. Сани уже скрылись в лесу, а Таисья все стояла за воротами и не чувствовала леденившего холода, пока сама Анфиса Егоровна не увела ее в горницы.

— Что ты студишься, Таисьюшка? — усовещивала она ее. — Статочное ли это дело тебе

по морозу бегать!

Таисья взглянула на нее непонимавшими глазами и горько разрыдалась. Заплакала и Анфиса Егоровна, понимавшая горе своей гостьи.

— К самому сердцу пришлась она мне, горюшка, — плакала Таисья, качая головой. — Точно вот она моя родная дочь... Все терпела, все скрывалась я, Анфиса Егоровна, а вот теперь прорвало... Кабы можно, так на себя бы, кажется, взяла весь Аграфенин грех!.. Видела, как этот проклятущий Кирилл зенки-то свои прятал: у, волк! Съедят они там девку в скитах с своею-то Енафой!..

Глава 31

Первое чувство, которое охватило Аграфену, когда сани переехали на другую сторону Каменки и быстро скрылись в лесу, походило на то, какое испытывает тонущий человек. Сиденье у саней было узкое, так что на поворотах, чтобы сохранить равновесие, инок Кирилл всем корпусом наваливался на Аграфену.

— Сиди крепче! — сердито крикнул он в одном месте, когда сани перепрыгнули через

валежину и она чуть не вылетела.

Лошадь быстро шла вперед своею машистою рысью и только прядала ушами, когда где-нибудь около дороги попадал подозрительный пень. Чем дальше, тем лес становился гуще, и деревья поднимали свои мохнатые вершины выше и выше. Это был настоящий дремучий ельник, выстилавший горы на протяжении сотен верст. Здесь и снегу выпало больше, и под его тяжестью сильно гнулись боковые ветви, протянувшиеся мягкими зелеными лапами к узкому просвету дороги. Мерцавшее звездами небо мелькало только разорванными клочьями и полосками, а то сани катились под навесом ветвей, точно по темному коридору. Девушку больше всего пугала мертвая тишина, которая стояла кругом. Ни звука, ни движения, точно все умерло. Смиренный инок Кирилл тоже упорно молчал и только время от времени угнетенно вздыхал, точно его что давило. Что у него было на уме? Аграфена боялась на него взглянуть. Она слыхала, что до скитов от Самосадки считают верст семьдесят, но эта мера как-то совсем не укладывалась в ее голове, потому что дальше

Самосадки ей не случалось бывать. Она знала только одно, что ее завезут на край света, откуда не выберешься. Не ее первую увозят так-то в скиты на исправу, только из увезенных туда девушек редко кто вернулся: увезут — и точно в воду канет. Аграфена начала думать о себе, как о заживо похороненной, и страшная тоска давила ее. Что-то теперь делается со снохами? Что Таисья? Мастерица хоть и бранила ее, но Аграфена чувствовала всегда, что она ее любит... Добрая она, Таисья. По пути девушка вспомнила темную историю, как Таисью тоже возили в скиты на исправу. Это было давно, лет тридцать назад, и на Ключевском про Таисьин грех могли рассказать только старики. Сама Аграфена знала об этом из пятого в десятое, да и тому, что слыхала, мало верила. Теперь ей вдруг сделалось жаль Таисьи, и это невольное чувство заглушало ее собственное горе. Да и она сама, Аграфена, будет такою же мастерицей, когда состарится, а пока будет проживать в скитах черничкой. Закрыв глаза, она видела уже себя в темном, полумонашеском одеянии, в темном платке на голове, с восковым лицом и опущенными

долу глазами... Господи, как страшно!..

— Ты чего это ревешь? — огрызнулся старец Кирилл, когда послышались сдержанные рыдания. — Выкинь дурь из головы... И в скитах люди живут не хуже тебя.

Аграфена даже вздрогнула: она не слыхала своих слез. Старец Кирилл, чтобы сорвать злость, несколько раз ударил хлыстом ни в чем не повинного рыжка. Дорога повернула на полдень и начала забирать все круче и круче, минуя большие горы, которые теснили ее все сильнее с каждым шагом вперед. Прежнего дремучего леса уже не было. Он заметно редел, особенно по горам, где деревья с полуночной стороны были совсем голые — ветер студеный их донимал. Холодно Аграфене, — холодно не от холода, а от того, что боится она пошевельнуться и все тело отерпло от сиденья. И мысли совсем путаются в голове, а дремота так и подмывает; взяла да легла бы прямо в снег и уснула тут на веки вечные. Горе истомило ее... Бегут сани, стучит конское копыто о мерзлую землю, мелькают по сторонам хмурые деревья, и слышит Аграфена ласковый старушечий голос, который так любов-

но наговаривает над самым ее ухом: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова бородушка, выгляни в окошечко...» Это баушка Степанида сказку рассказывает ребятам, а сама Аграфена совсем еще маленькая девчонка. Сонно жужжит веретено в руках у баушки Степаниды, а сказка так и льется. Сидит петушок у окошечка, а хитрая лиса его подманивает. Долго петушок не сдается лисе, а потом и поверил... «Ухватила его лиса поперек живота и поволокла... Несет его через горы высокие, несет через реки быстрые, через леса дремучие, принесла к избушке и говорит: «Я тебя съем, петушок»». Страшно Аграфене, захватило у нее дух, и она проснулась... Лошадь стоит, а она сидит в санях одна. Аграфена даже вскрикнула от страха, но смиренный инок Кирилл был тут, — он ходил по дороге и высматривал что-то в снегу. Уж не заплутались ли они в лесу, на ночь глядя?

— Повертка к Чистому болоту выпала, — объяснил он, нерешительно подходя к саням. — Ночью-то, пожалуй, болото и не переехать... которые окна еще не застыли, так в

них попасть можно. Тут сейчас будет старый курень Бастрык, а на нем есть избушка, — в ней, видно, и заночуем. Тоже и лошадь затомилась: троих везет...

— Я не буду ночевать в лесу с тобой! — смело ответила Аграфена.

— Што так? — засмеялся себе в бороду старец.

— А так... Ведь болотом и днем не проехать, все равно через Талый курень придется. Мы у могилки отца Спиридона сейчас...

— Ишь дошлая!.. А все-таки ты дура, Аграфена: на Талый-то мы приедем к утру, а там мочегане робят: днем-то и тебя и меня узнают. Говорю: лошадь пристала...

— Все-таки не поеду... Матушка Таисья наказывала через Талый ехать.

— И матушка Таисья дура.

Старец Кирилл походил около лошади, поправил чересседельник, сел в сани и свернул на Бастрык. Аграфена схватила у него вожжи и повернула лошадь на дорогу к Талому. Это была отчаянная попытка, но старец схватил ее своею железною рукой прямо за горло, опрокинул навзничь, и сани полетели по ед-

ва заметной тропе к Бастрыку.

— Што ты делаешь, отчаянный? — крикнула Аграфена, напрасно стараясь вырвать вожжи.

— А вот это самое...

Что она могла поделать одна в лесу с сильным мужиком? Лошадь бывала по этой тропе и шла вперед, как по наезженной дороге. Был всего один след, да и тот замело вчерашним снегом. Смиренный инок Кирилл улыбался себе в бороду и все поглядывал сбоку на притихшую Аграфену: ишь какая быстрая девка выискалась... Лес скоро совсем поредел, и начался голый березняк: это и был заросший старый курень Бастрык. Он тянулся широким увалом верст на восемь. На нем работал еще отец Петра Елисеича, жигаль Елеска.

— Вот мы и дома, — самодовольно проговорил инок Кирилл, свертывая с тропы налево под гору. — Ишь какое угодное местечко жигали выбрали.

Взмыленная лошадь остановилась у вросшей в землю старой лесной избушки, засыпанной молодым снегом. Только чернела дырой растворенная дверь. Инок Кирилл, не то-

ропясь, вылез из саней, привернул лошадь вожжой к оглобле и полез в избушку. Аграфена оставалась в санях и видела, как в избушке желтым пятном затеплился огонек. Запасливый инок успел захватить из Таисьиной избы сальную свечу и теперь засветил ее. В избушке с лета, видимо, никто не бывал. Двери, очаг из камней и у задней стены нары из еловых плах были целы, значит, можно было и заночевать в лучшем виде. Отоптав снег около входа и притворив дверку, чтобы не задуло огонь, старец с топором в руке отправился за дровами. Аграфена упрямо сидела в санях. Скоро в березняке звонко застучал топор, — это старец выискал сухое дерево и умелою рукой свалил его. Аграфена все сидела, прислушиваясь к работе. Через десять минут Кирилл приволок целую березу и принялся ее рубить. От работы он сейчас же согрелся и снял верхний бараний тулуп. Аграфена видела только его широкие плечи и бойко взлетавший топор, игравший в привычных руках. Скоро избушка осветилась ярким пламенем разложенного на очаге костра из сухого дерева, а густой дым повалил прямо в дверь. Инок сла-

зил на крышу, ототкнул закутанную дымовую дыру и припер дверь. Потом он отпряг лошадь и поставил ее выстаиваться к избушке, прикрыв сверху своею шубой. На Аграфену он все время не обращал никакого внимания и только уже потом, когда совсем управился, вышел из избушки и проговорил:

— Ну, ты, недотрога-царевна, долго еще будешь мерзнуть? Иди погрейся...

Аграфена колебалась выйти из саней, но потом на нее напала какая-то отчаянная решимость: все равно пропадать... Засиженные ноги едва шевелились, и она с трудом дошла до избушки, точно шла на костылях. От движения у ней делалась боль в суставах, а спину так и ломило. Зато как хорошо было в избушке, где теперь весело трещал живой огонь. Дым, крутившийся столбом, уходил в дыру на крыше, но часть его оставалась в избушке и страшно ела глаза. Старец Кирилл присел на корточках к огню и опять не обращал никакого внимания на свою спутницу. Он согрел руки, распоясался, добыл из саней походную кожаную суму и, отпив из горлышка водки, проговорил добродушно:

— Ты бы поела, Аграфена... Я-таки прихватил у матушки Таисьи краюшку хлебца да редечки, — наша скитская еда. Затощаешь дорогой-то...

— Не хочу...

Старец Кирилл точно не слыхал ответа и аппетитно принялся уписывать свою краюшку. Маленькая бутылочка хранилась в глубоком кармане скитского кафтана, и он прикладывался к ней еще раза два, а потом широко вздохнул, перекрестился, икнул и начал сонно зевать. Аграфена все сидела на нарах, как была, в тулупе, и чувствовала, как согревается у ней каждая косточка. Тепло так и разливалось по телу, и опять начал клонить предательский сон. Есть она не хотела, а заснуть боялась. Снять тулуп она тоже не хотела, точно ее девичья беззащитность в нем была безопаснее. Ее даже прошиб пот. Кирилл спрятал свою суму, еще покрестился и вышел из избушки. На небе уже легла предутренняя отбель, и звезды начали меркнуть.

— Кичиги на закате стоят, — проговорил он вслух, разглядывая три звезды на юго-западной стороне неба, — а Ичиги над голо-

вой, — скоро ободняет.

Ичиги — созвездие Большой Медведицы; Кичиги — три звезды, которые видны бывают в этой стороне только зимой. С вечера Кичиги поднимаются на юго-востоке, а к утру «западают» на юго-западе. По ним определяют время длинной северной ночи.

Вернувшись в избу и подкинув свежих дров, инок Кирилл разостлал на нарах свою шубу и завалился спать. Он сейчас же захрапел, как зарезанный. Аграфена все сидела в своем тулупе и слушала, как у дверей лошадь жует сено. Укладываясь спать, Кирилл задул свечу, и теперь избушку освещал только очаг. Когда догорят дрова, опять будет темно, и Аграфена со страхом думала о том моменте, когда останется в темноте со старцем с глазу на глаз. Пока она подсела к огню и поправляла головешки. Она и боялась Кирилла и еще больше боялась поверить ему. Пока он не трогает ее, а все-таки кто его знает, что у него на уме. Когда огонь догорел и дров больше не осталось, Аграфена вышла из избушки. Небо было какое-то белое, — занимался короткий зимний день. Отогревшись в избушке, она

улеглась в сани и сейчас же заснула убитым молодым сном — тем сном, который не знает грез.

— Эй, вставай, голубушка! — толкал ее кто-то в бок.

Аграфена вскочила. Кругом было темно, и она с удивлением оглядывалась, не понимая, где она и что с ней. Лошадь была запряжена, и старец Кирилл стоял около нее в своем тулупе, совсем готовый в путь. С большим трудом девушка припомнила, где она, и только удивлялась, что кругом темно.

— Цельный день проспала, Аграфенушка, — объяснил Кирилл. — А я тебя пожалел будить-то... Больно уж сладко спала. Тоже измаялась, да и дело твое молодое... Доходил я до Чистого болота: нету нам проезда. Придется повернуть на Талый... Ну, да ночное дело, проедем как-нибудь мимо куренных.

Аграфена стояла перед ним точно в тумане и плохо понимала, что он говорит. Неужели она проспала целый день?.. А старец ее пожалел... Когда она садилась в сани, он молча сунул ей большой ломоть ржаного хлеба. Она действительно страшно хотела есть и теперь

повиновалась угощавшему ее Кириллу.

За день лошадь совсем отдохнула, и сани бойко полетели обратно, к могилке о. Спиридона, а от нее свернули на дорогу к Талому. Небо обложили низкие зимние облака, и опять начал падать мягкий снежок... Это было на руку беглецам. Скоро показался и Талый, то есть свежие пеньки, кучи куренных дров-долготья, и где-то в чаще мелькнул огонек. Старец Кирилл молча добыл откуда-то мужицкую ушастую шапку и велел Аграфене надеть ее.

— Да вот возьми рукавицу, да рукавицей рожу и натри, — советовал он. — Нарочно даве сажей ее намазал... И будешь, как заправский мужик. Кабы нас куренные-то не признали...

Аграфена вымазала лицо себе сажей, сняла платок с головы и надела шапку. Она чувствовала теперь искреннюю благодарность к догадливому пустынножителю, который вперед запас все, что нужно.

Глава 32

Курень состоял из нескольких землянок вроде той, в какой Кирилл ночевал сего-

дня на Бастрыке. Между землянками стояли загородки и навесы для лошадей. Разная куренная снасть, сбруя и топоры лежали на открытом воздухе, потому что здесь и украсть было некому. Охотничьи сани смиренного Заболотского инока остановились перед одной из таких землянок.

— Ты посиди, Ефим, а я схожу погреться, — рассчитанно громким голосом проговорил Кирилл, обращаясь к Аграфене.

Куренные собаки накинулись на него целою стаей, а на их лай из землянок показались любопытные головы.

— Мосей здесь? — спрашивал инок, входя в землянку. — С Самосадки поклон привез, родимые мои... Бабы больно соскучились и наказывали кланяться.

— Ишь какой выискался охотник до баб, — ответил с полатей голос Мосея. — Куда опять поволокся, спасеная душа?

Появление Кирилла вызвало дружный смех в землянке, и человек шесть мужиков и парней окружили его. Инок отшучивался, как умел, разыгрывая балагура. Один Мосей отмалчивался и поглядывал на Кирилла не со-

всем дружелюбно.

— Погреться завернул... — объяснял Кирилл, похлопывая рукавицами.

— Оставайся ночевать, коли озяб.

— Тороплюсь, родимые мои...

— Об Енафе соскучился? — спросил кто-то, и опять послышался дружный смех. — Она тебе вторую дочь привезла... Этим скитским не житье, а масленица!..

— Чего вы зубы-то скалите, омморошные? — озлился Кирилл. — Мало ли народу по скитам душу спасает...

— Знаем мы ваше спасенье: больше около баб...

— Вот ты и осудил меня, а как в писании сказано: «Ты кто еси судий чуждему рабу: своему господеви стоишь или падаешь...» Так-то, родимые мои! Осудить-то легко, а того вы не подумали, что к мирянину приставлен всего один бес, к попу — семь бесов, а к чернецу — все четырнадцать. Согрели бы вы меня лучше водочкой, чем непутевые речи заводить про наше иноческое житие.

— Какая у нас водка...

Побалагурив с четверть часа и выспросив,

кто выехал нынче в курень, — больше робили самосадские да ключевляне из Кержацкого конца, а мочеган не было ни одной души, — Кирилл вышел из избы.

— А это кто с тобой едет? — спросил Мосей, вышедший проводить его.

— А так... один человек... — уклончиво ответил инок, неторопливо усаживаясь в сани. — Ну-ка, Ефимушка, трогай... Прощай, Мосей. Завертывай ужо как-нибудь к нам в гости.

— Самое это наше дело по гостям ездить, — ответил Мосей, подозрительно оглядывая Аграфену.

Куренные собаки проводили сани отчаянным лаем, а смиренный заболотский инок сердито отплюнулся, когда курень остался назади. Только и народец, эти куренные... Всегда на смех подымут: увязла им костью в горле эта Енафа. А не заехать нельзя, потому сейчас учнут доискиваться, каков человек через курень проехал, да куда, да зачем. Только вот другой дороги в скиты нет... Диви бы мочегане на смех подымали, а то свои же кержаки галятся. Когда это неприятное чувство улег-

лось, Кирилл обратился к Аграфене:

— Дураками оказали себя куренные-то: за мужика тебя приняли... Так и будь мужиком, а то еще скитские встренутся да будут допытываться... Ох, грехи наши тяжкие!.. А Мосей-то так волком и глядит: сердитует он на меня незнамо за што. Родной брат вашему-то приказчику Петру Елисеичу...

До скита Енафы оставалось еще верст тридцать. Дорога опять превратилась в маленькую тропу, на которой даже и следа не было, но инок Кирилл проехал бы всю эту «пустыню» с завязанными глазами: было похожено и поезжено по ней по разным скитским делам. Выспавшаяся Аграфена чувствовала себя бодрее вчерашнего и не боялась Кирилла. Да и скиты близко, а там проживает много раскольничьих «матерей»: в случае чего, они ущитят от Кирилла. Удивляло Аграфену и то, что чем дальше они ехали, тем реже становился лес. Ели стояли тонкие да чахлые, совсем не такие, как на Самосадке. Дело в том, что они ехали по самому перевалу, на значительной высоте. Горы делались все выше, и тропа извивалась между ними, как

змея. Спускаясь в одном месте с увала, Кирилл указал рукой влево и проговорил:

— Тут тебе будет Святое озеро, куда ходят в успеньев день...

— В успеньев-то день ходят на Крестовые острова...

— Ну, они на Святом озере и есть, Крестовые-то... Три старца на них спасались: Пахомий-постник, да другой старец Пафнутий-болящий, да третий старец Порфирий-страстотерпец, во узилище от никониан раны и напрасную смерть приявший. Вот к ним на могилку народ и ходит. Под Петров день к отцу Спиридону на могилку идут, а в успенье — на Крестовые. А тут вот, подадимся малым делом, выступит гора Нудиха, а в ней пещера схимника Паисия. Тоже угодное место...

Этот благочестивый разговор подействовал на Аграфену самым успокаивающим образом. Она ехала теперь по местам, где спасались свои раскольники-старцы и угодники, слава о которых прошла далеко. Из Москвы приезжают на Крестовые острова. Прежде там скиты стояли, да разорены никонианами. Инок Кирилл рассказывал ей про схоронив-

шуюся по скитам свою раскольничью святыню, про тихую скитскую жизнь и в заключение запел длинный раскольничий стих:

Прекрасная мати пустыня!
От суетного мира прими мя...
Любезная, не изжени мя
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Поставлю в тебе малу хижу,
Полезная в ней аз увижу.
Потщился к тебе убежати,
Владыку Христа подражати.

Длинная дорога скороталась в этих разговорах и пении незаметно, Аграфена успела привыкнуть к своему спутнику и даже испугалась, когда он, указывая на темневшую впереди гору Нудиху, проговорил:

— Как ее проедем, тут тебе сейчас будет повертка в скит матери Пульхерии. Великая она у нас постница... А к Енафе подальше проедем, на речку, значит, Мокрушу. Пульхерия-то останется у нас вправе.

Ночь была сегодня темная, настоящая волчья, как говорят охотники, и видели хорошо только узкие глазки старца Кирилла. Подъез-

жая к повертке к скиту Пульхерии, он только угнетенно вздохнул. Дороги оставалось всего верст восемь. Горы сменялись широкими высыхавшими болотами, на которых росла кривая болотная береза да сосна-карлица. Лошадь точно почуяла близость жилья и прибавила ходу. Когда они проезжали мимо небольшой лесистой горки, инок Кирилл, запинаясь и подбирая слова, проговорил:

— Ты вот что, Аграфенушка... гм... ты, значит, с Енафой-то поосторожней, особливо насчет еды. Как раз еще окормит чем ни на есть... Она эк-ту уж стравила одну слепую деушку из Мурмоса. Я ее вот так же на исправу привозил... По-нашему, по-скитскому, слепыми прозываются деушки, которые вроде тебя. А красивая была... Так в лесу и похоронили сердешную. Наши скитские матери тоже всякие бывают... Чем с тобою ласковее будет Енафа, тем больше ты ее опасайся. Змея она подколодная, пряменько сказать...

— Зачем же Енафа стравила ее? — удивлялась Аграфена.

— А так, по бабьей своей глупости... Было бы сказано, а там уж сама догадывайся, зачем

вашу сестру травят свои же бабы.

Чем ближе был скит Енафы, тем инок Кирилл делался беспокойнее. Он часто вздыхал и вслух творил молитву. Когда вдали, точно под землей, нерешительно взлаяла собака, он опять сердито отплюнулся. Учуяла, проклятая! Мимо скита Енафы можно было проехать среди белого дня и не заметить его, — так он ловко спрятан в еловом лесу у подножья Мохнатенькой горки. На лай собаки мелькнул в лесу слабый огонек, и только по нему Аграфена догадалась, что они приехали. Ни дороги, ни следа, а стоит в лесу старая изба, крытая драньем, — вот и весь скит. Немного поодаль задами к ней стояла другая такая же изба. В первой жила сама мать Енафа, а во второй — две ее дочери.

— Господи Исусе Христе, помилуй нас! — смиренно помолитвовался инок Кирилл под окном первой избы.

— Аминь! — ответил женский голос.

Избы стояли без дворов: с улицы прямо ступай на крыльцо. Поставлены они были по-старинному: срубы высокие, коньки крутые, оконца маленькие. Скоро вышла и сама мать

Енафа, приземистая и толстая старуха. Она остановилась на крыльце и молча смотрела на сани.

— Долго ты шатался на Ключевском, — проговорила она, наконец, когда Кирилл подошел к крыльцу. — Небойсь у Таисьи все проклажался? Сладко она вас прикармливает, беспутных.

Инок Кирилл только замотал головой, и мать Енафа умолкла.

— Привез я тебе, мать Енафа, новую трудницу... — заговорил Кирилл, набираясь храбрости. — Ослепла, значит, в мире... Таисья послала... Так возжелала исправу принять у тебя.

Аграфена давно вылезла из саней и ждала, когда мать Енафа ее позовет. Она забыла снять шапку и опомнилась только тогда, когда мать Енафа, вглядевшись в нее, проговорила:

— Это еще што за полумужичье?.. Иди-ка сюды, умница, погляжу я на тебя поближе-то!

Смущенный Кирилл, сбиваясь в словах, объяснял, как они должны были проезжать через Талый, и скрыл про ночевку на Бастры-

ке. Енафа не слушала его, а сама так и впилась своими большими черными глазами в новую трудницу. Она, конечно, сразу поняла, какую жар-птицу послала ей Таисья.

— Ну, идите в избу... — сурово пригласила она.

Изба была высокая и темная от сажи: свечи в скиту зажигались только по праздникам, а по будням горела березовая лучина, как было и теперь. Светец с лучиной стоял у стола. На полатях кто-то храпел. Войдя в избу, Аграфена повалилась в ноги матери Енафе и проговорила положенный начал:

— Прости, матушка, благослови, матушка...

— Бог тебя простит, бог благословит...

— А на полатях-то кто у тебя спрятан? — спрашивал Кирилл, прислушиваясь к доносившемуся с полатей храпу.

— Бродяжка один из Красного Яру... — спокойно ответила Енафа.

Она была в одном косоклинном сарафане из домашнего синего холста; рубашка была тоже из холста, только белая. У окна стояли кросна с начатою новиной. Аграфене было со-

вестно теперь за свой заводский ситцевый сарафан и ситцевую рубаху, и она стыдливо вытирала свое раскрасневшееся лицо. Мать Енафа пытливо посмотрела на нее и на смиренного Кирилла и только сжала губы.

— Щеголиха... — прошипела она, поправляя трещавшую в светце лучину. — Чьих ты будешь, умница? Гущиных?.. Слыхала про брательников, как же! У Самойла-то Евтихыча тоже брательник обережным служит, Матвеем звать?.. Видала.

Это влиятельное родство значительно смягчило мать Енафу, и она, позевывая, проговорила почти ласково:

— Вот што, щеголиха: ложись-ка ты спать, а утро вечера мудренее. Вот тут на лавочку приляжь...

Но спать Аграфене не пришлось, потому что в избу вошли две высоких девки и прямо уставились на нее. Обе высокие, обе рябые, обе в сарафанах из синего холста.

— Чего не видали-то? — накинулась на них мать Енафа. — Лбы-то перекрестите, оглашенные... Федосья, Акулина, ступайте домой: нечего вам здесь делать.

Девки переглянулись между собой, посмотрели на смущенного инока Кирилла и прыснули со смеху.

— А гостинца привез? — обратилась к Кириллу старшая, Федосья.

— Потом привезет, — ответила за него мать Енафа. — Вот новую трудницу с Мурмоса вывез.

— Похоже на то, мамынька, — ответила младшая, Акулина, с завистью оглядывая Аграфену. — Прямо сказать: монашка.

Девки зашептались между собой, а бедную Аграфену бросило в жар от их нахальных взглядов. На шум голосов с полатей свесилась чья-то стриженая голова и тоже уставилась на Аграфену. Давеча старец Кирилл скрыл свою ночевку на Бастрыке, а теперь мать Енафа скрыла от дочерей, что Аграфена из Ключевского. Шел круговой обман... Девки потолкались в избе и выбежали с хохотом.

Мать Енафа раскинула шелковую пелену перед киотом, затеплила перед ним толстую восковую свечу из белого воска и, разложив на столе толстую кожаную книгу, принялась читать акафист похвале-богородице; поклоны

откладывались по лестовке и с подрушником.

Так началось для Аграфены скитское «трудничество».

Глава 33

По первопутку вернулись из орды ходоки. Хохлацкий и Туляцкий концы затихли в ожидании событий. Ходоки отдохнули, сходили в баню, а потом явились в кабак к Рачителихе. Обступил их народ, все ждут, что скажут старики, а они переминаются да друг на друга поглядывают.

— Ну что, старики, как орда? — спрашивали нетерпеливые.

Опять переминаются ходоки, — ни тому, ни другому не хочется говорить первым. А народ так и льнет к ним, потому всякому любопытно знать, что они принесли с собой.

— Хорошо в орде, этово-тово, — проговорил, наконец, первым Тит Горбатый.

— Одобряешь, дедушка?

— Земля овчина-овчиной, травы ковыльные, крепкие, укос — на десятину по сту копен, скотина кормная, — нахваливал Тит. — Одно название, што будто орда. У тамошних крестьян какой обычай, этово-тово: жнитво, а

жнут не чисто, тут кустик пшенички оставит, и в другом месте кустик, и в третьем кустик. «Для чего вы, говорю я, не чисто жнете?» — «А это, говорят, мы Николе на бородку оставляем, дедушка. Пойдут по пашне за нами вдовы да сироты и подберут кустики...» Вот какая там сторона! Хлеба ржаного совсем и в заводе нет, а все пшеничный...

Расхваливает Тит орду, руками машет, а старый Коваль молчит и только трубочку свою посасывает.

— Ну, а ты, Дорох, что нам скажешь? — пристают свои хохлы к Ковалю.

— Що я вам кажу? — тянет Коваль точно сквозь сон. — А то я вам кажу, братики, што сват гвалтует понапрасну... Пусто бы этой орде было! Вот што я вам кажу... Бо ка-зна-що! Чи вода була б, чи лес бул, чи добри люди: ничегесенько!.. А ну ее, орду, к нечистому... Пранцеватый народ в орде.

— Да ведь ты сам же хвалил все время орду, этово-тово, — накинулся на него Тит, — а теперь другое говоришь...

— Балакали, сват, а як набигло на думку, так зовсем друге и вийшло... Оце велико лихо

твоя орда!

Ходоки упорно стояли каждый на своем, и это подняло на ноги оба мочеганских конца. В спорах и препирательствах сторонников и противников орды принял деятельное участие даже Кержацкий конец, насколько он был причастен кабаку Рачителихи. Ходокам делали очные ставки, вызывали в волость, уговаривали, но они продолжали рознить. Особенно неистовствовал Тит, так и наступавший на Коваля.

— Отчепись к нечистому! — ругался Коваль. — Казав: не пойду у твою орду. Оттак!..

Туляки стояли за своего ходока, особенно Деян Поперешный, а хохлы отмалчивались или глухо роптали. Несколько раз в кабаке дело доходило до драки, а ходоки все стояли на своем. Везде по избам, как говорила Домнушка, точно капусту рубили, — такая шла свара и несогласие.

— Выведу в орду всю свою семью, а вы как знаете, этово-тово, — повторял Тит.

— А я зостанусь! — повторял Коваль. — Нэхай ей пусто будет, твоей орде.

Сколько ни бились старички с ходоками,

но так ничего и не могли с ними поделать. Решено было свести их к попу и к приказчику, чтобы они хоть там повинились и сказали настоящее. Не доверяя ни попу, ни приказчику, старички улучили минуту, когда поп прошел в господский дом, и повели ходоков туда же. Пусть вместе говорят, тогда будет видно, кто говорит правду, а кто обманывает. Ходоки, когда пришли в господский дом, имели вид подсудимых. Ввиду важности дела, Петр Елисеич позвал всех в залу. О. Сергей сидел на диване, а Петр Елисеич ходил по комнате, размахивая платком. Старички подталкивали ходоков, чтобы те начинали, но ходоки только переминались, как лошади в станке у кузницы.

— Пусть Коваль говорит наперво, этово-тово, — заявлял Тит. — От него вся смуть пошла.

— А чого ж я буду говорить, сват? — упирался Коваль. — Лучше ж послухаем твои викрутасы, бо ты кашу заварил... А ну, сват, тоби попереду говорить, а мы послухаем, що из того выйде.

Нечего делать, пришлось первому говорить Титу: переупрямил его хитрый хохол.

— Все мы обсмотрели, все обследовали и в

орде, и в казаках, и в стене, — заговорил Тит. — «Глянется, говорю, сват?» А сват хвалит... И землю хвалит, и народ хвалит, и уж местечко мы обыскали, этово-тово, штобы свой выселок поставить. Только идем это мы назад, а сват все орду нахваливает... Ну, все у нас согласно. Только, этово-тово, стали мы совсем к дому подходить, почесть у самой поскотины, а сват и говорит: «Я, сват, этово-тово, в орду не пойду!» И пошел хаять: воды нет, лесу нет, народ живет нехороший... Теперь к вам пришли, штобы вы урезонили свата, потому как он совсем неправильные слова говорит и во всем в отпор пошел... От него, этово-тово, вся смута!

— Ну, а ты что скажешь, Дорох? — спрашивал Петр Елисеич.

— А то и кажу, що зостанусь здесь... Пусть сват еде у эту пранцеватую орду!

— Нужно как-нибудь помириться, старички, — советовал Петр Елисеич. — Не такое это дело, чтобы вздорить.

— Да я-то враг, што ли, самому себе? — кричал Тит, ударяя себя в грудь кулаком. — На свои глаза свидетелей не надо... В первую

голову всю свою семью выведу в орду. Все у меня есть, этово-тово, всем от господа бога доволен, а в орде лучше... Наша заводская копейка дешевая, Петр Елисеич, а хрестьянская двухвершковым гвоздем приколочена. Все свое в хрестьянах: и хлеб, и харч, и обуй, и одёжа... Мне-то немного надо, о молодых стараюсь...

Маленькое сморщенное лицо у Горбатого дышало непреодолимою энергией, я в каждом слове сказывалось твердое убеждение. Ходоки долго спорили и опять ни до чего не доспорились.

— Треба еще жинок да парубков спросить, може вони и не захочут твоего-то хлеба, сват! — кричал охрипшим голосом Коваль. — Оттак!..

— И спрашивай баб да робят, коли своего ума не стало, — отвечал Тит. — Разе это порядок, штобы с бабами в этаком деле вязаться? Бабий-то ум, как коромысло: и криво, и зарубисто, и на два конца...

Отец Сергей тоже предлагал ходокам помириться, но ему верили еще меньше, чем приказчику. Приказчик жалованье из конто-

ры получает, а поп голодом насидится, когда оба мочеганских конца уйдут в орду.

Домнушка и Катря слушали этот разговор из столовой и обе были на стороне старого Коваля, а Тит совсем сбесился со своею ордой.

— Уведет он в эту орду весь Туляцкий конец, — соболезновала Домнушка, качая головой. — Старухи-то за него тоже, беззубые, а бабенки, которые помоложе, так теперь же все слезьми изошли... Легкое место сказать, в орду наклался!

— А пусть попытают эту самую орду, — смеялся дома старый Коваль, покуривая трубку. — Пусть их... Там и хаты из соломы да из березовых прутьев понаделаны. Возьмут солому, помажут глиной — вот тебе и хата готова.

Старая Ганна была совершенно счастлива, что Коваль уперся. Она про себя молила бога, чтобы туляки поскорее уезжали в орду, а впереди всех уезжали бы Горбатые. Тогда свадьба Федорки расстроилась бы сама собой. Материнское сердце старой хохлушки так и прыгало от радости, что она рассватает Федорку и выдаст ее замуж куда-нибудь в Хохлацкий ко-

нец. Пусть за своего хохла выходит, а в больших туляцких семьях снох со свету сживают свекрови да золовки. Ганна особенно часто ласкала теперь свою писанку Федорку и совсем не бранилась, когда старый Коваль возвращался из кабака пьяный.

— А то проклятуща, тая орда! — выкрикивал Коваль, петухом расхаживая по своей хате. — Замордовал сват, а того не знае, що от хорошего житья тягнется на худое... Так говорю, стара?

— А то як же, Дорох? Почиплялись за орду, як дурни.

Хитрый Коваль пользовался случаем и каждый вечер «полз до шинка», чтобы выпить трохи горилки и «погвалтувати» с добрыми людьми. Одна сноха Лукерья ходила с надутым лицом и сердитовала на стариков. Ее туляцкая семья собиралась уходить в орду, и бедную бабу тянуло за ними. Лукерья выплакивала свое горе где-нибудь в уголке, скрываясь от всех. Добродушному Терешке-казаку теперь особенно доставалось от тулянки-жены, и он спасался от нее тоже в шинок, где гарцевал батько Дорох.

— Ведмедица эта самая Лукерка! — смеялся старый Коваль, разглаживая свои сивые казацкие «вусы». — А ты, Терешка, не трожь ее, нэхай баба продурится; на то вона баба и есть.

Гуляка Терешка побаивался сердитой жены-тулянки и только почесывал затылок. К Лукерье несколько раз на перепутье завертывала Домнушка и еще сильнее расстроила бабенку своими наговорами, соболезнованием и причитаньем, хотя в то же время ругала, на чем свет стоит, сбесившегося свекра Тита.

— Тебе-то легко, Домнушка, — жалились другие горбатовские снохи. — Ты вот, как блоха, попрыгиваешь, а каково нам... Хоть бы ты замолвила словечко нашему Титу, — тоже ведь и ты снохой ему приходишься...

— И скажу! — храбрилась Домнушка. — Беспременно скажу, потому и Петр Елисеич не одобряет эту самую орду... Самое, слышь, проваленное место. Прямо-то мужикам он ничего не оказывает, а с попом разговаривают... и Самойло Евтихыч тоже не согласен насчет орды...

— Поговори ты, Домнушка! — упрашивали

снохи. — С тебя, с солдатки, взять нечего.

Разбитная Домнушка действительно посыкнулась было поговорить с Титом, но старик зарычал на нее, как зверь, и даже кинулся с кулаками, так что Домнушка едва спаслась позорным бегством.

— Я вот тебе, расстройщица! — орал Тит, выбегая на улицу за Домнушкой с палкой.

Но черемуховая палка Тита, вместо нагулянной на господских харчах жирной спины Домнушки, угодила опять на Макара. Дело в том, что до последнего часа Макар ни слова не говорил отцу, а когда Тит велел бабам мало за малым собирать разный хозяйственный скарб, он пришел в переднюю избу к отцу и заявил при всех:

— А я, батюшка, в твою орду не поеду.

— Что-о?

— Не поеду, говорю... Ты меня не спрашивал, когда наклался уезжать, а я не согласен.

— Да ты, этово-тово, с кем разговариваешь-то, Макарко? В уме ли ты, этово-тово?..

— Из твоей воли не выхожу, а в орду все-таки не поеду. Мне и здесь хорошо.

Произошла горячая семейная сцена, и че-

ремуховая палка врезалась в могучее Макаркино тело. Старик до того расстервенился, что даже вступилась за сына сама Палагея. Того гляди, изувечит сбесившийся старик Макара.

— Твоя воля, а в орду не пойду! — повторял Макар, покорно валяясь на полу.

— Я тебя породил, собаку, я тебя и убью! — орал Тит в бешенстве.

Сорвав сердце на Макаркиной спине, Тит невольно раздумался, зачем он так лютует. Большак Федор слова ему не сказал, — в орду так в орду. Фрол тоже, а последыш Пашка еще мал, чтобы с отцом разговаривать. Сам-третей выедет он в орду, да еще парень-подросток в запасе, — хоть какое хозяйство управить можно. А Макарка пусть пропадает в Ключевском, ежели умнее отца захотел быть. О двух остальных сыновьях Тит совсем как-то и не думал: солдат Артем, муж Домнушки, отрезанный ломоть, а учитель Агап давно отбился от мужицкой работы. Раздумавшись дальше, Тит пришел к мысли, что Макар-то, пожалуй, и прав: первое дело, живет он теперь на доходах — лесообъездчикам контора жалованье положила, а потом изба за ним же

останется, покосы и всякое прочее... Всего с собой не увезешь, а когда Артем выйдет из службы, вместе и будут жить в отцовском дворе.

«Оно, этово-тово, правильное дело говорит Макар-то», — раздумывал Тит, хотя, с другой стороны, Макарку все-таки следовало поучить.

Глава 34

Таинственное исчезновение Аграфены и скандал с двором брательников Гущиных как-то совсем были заслонены готовившимся переселением мочеган. И в кабаке, и в волости, и на базаре, и на фабрике только и разговору было, что о вздоривших ходоках. Не думала о переселении в орду только такая беспомощная голь, как семья Окулка, перебивавшаяся кое-как в покосившейся избушке на краю Туляцкого конца. Появление Окулка и его работа на покосе точно подразнила эту бедность. Когда с другими разбойниками Окулко явился с повинной к Луке Назарычу, их всех сейчас же засадили в волость, а потом немедленно отправили в Верхотурье в острог. Старая Мавра опять осталась с глазу на глаз с

своею непокрытою бедностью, Наташка по прежнему в четыре часа утра уходила на фабрику, в одиннадцать прибегала пообедать, а в двенадцать опять уходила, чтобы вернуться только к семи, когда коморник Слепень отдавал шабаш. За эту работу Наташа получала пятнадцать копеек, и этих денег едва хватало на хлеб. Поднятая в Туляцком конце суматоха точно делала семью сидевшего в остроге Окулка еще беднее.

— Богатые-то все в орду уедут, а мы с кержаками и останемся, — жаловалась Мавра. — Хоть бы господь смерть послал. И без того жизни не рад.

Сборы переселенцев являлись обидой: какие ни на есть, а все-таки свои туляки-то. А как уедут, тут с голоду помирай... Теперь все-таки Мавра кое-как изворачивалась: там займет, в другом месте перехватит, в третьем попросит. Как-то Федор Горбатый в праздник целый воз хворосту привез, а потом ворота поправил. Наташка по прежнему не жаловалась, а только молчала, а старая Мавра боялась именно этого молчания.

— Што ты все молчишь, Наташка? — спра-

шивала она дочь. — Точно пень березовый.

— О чем говорить-то, мамынька? — сердито отвечала Наташка. — Замаялась я, вот што... Поясницу ломит. Вон ступни[389] новые надо покупать, варежки износились.

— Ну, ты у меня смотри: знаем мы, как у девок поясницы болят... Дурите больше с парнями-то!.. Вон я как-то Анисью приказчицу видела: сарафан кумачный, станушка с кумачным подзором, платок на голове кумачный, ботинки козловые... Поумнее, видно, вас, дур...

— И пусть будет умнее.

Старая, поглупевшая от голода и болезней Мавра пилила несчастную Наташку походя и в утешение себе думала о том, что вот выпустят Окулка из острога и тогда все будет другое. Он и дровец навозит, и избенку починит, и за хлебом по соседям не придется бегать... Небойсь этакой могутный мужик без работы не останется. В последнее время Мавра придумала не совсем хорошее средство добывать деньги на хлеб: отправится к Рачителихе и начнет расписывать ей свою бедность. Не любила кабатчица вечно канючившую старуху,

но слушает-слушает и пожалеет: то хлеба даст, то деньгами ссудит, а сама только вздохнет. Мавра, конечно, знала о несчастной любви Рачителихи и по-своему эксплуатировала эту привязанность. Зато, когда узнала Наташка об этом, у них вышла крупная ссора.

— Умирать, што ли, с голоду? — кричала обозленная Мавра.

— Последнее это дело! — кричала Наташка. — Хуже, чем по миру идти. Из-за Окулка же страмили на весь завод Рачителиху, и ты же к ней идешь за деньгами.

— Ну, и не пойду... Помирайте все голодом! Один конец.

— Ведь не померли, слава богу, и не помрем раньше смерти.

Обойденная со всех сторон отчаянною нуждой, Наташка часто думала о том, что вот есть же богатые семьи, где робят одни мужики, а бабы остаются только для разной домашности. Она завидовала отецким дочерям, которые никакого горя в девках не знают, а потом выскочат замуж и опять попадут на хорошее житье. А вот ей, Наташке, ниоткуда и ничего, да еще мать корми... Вон у Ковалей

засиротела внучка Катря, так сейчас в господский дом ее определили на легкое житье, потому у богатых везде рука. Живет эта Катря в светле да в тепле и никакого горя не знает, а она, Наташка, муку-мученическую на проклятой фабрике принимает. Мужики одни чего стоят: проходу не дают — тот щипнет, другой облапит, третий нехорошим словом обзовет. Хоть бы час так-то прожить, как другие девки. Единственным утешением для Наташки оставался пример других поденщиц, которые околачивались вместе с ней на фабрике. Ни от кого-то она доброго слова не слыхивала, кроме солдатки Аннушки Чеботаревой, которая всегда сама такая веселая.

— Перестань ты думать-то напрасно, — уговаривала ее Аннушка где-нибудь в уголке, когда они отдыхали. — Думай не думай, а наша женская часть всем одна. Вон Аграфена Гущина из какой семьи-то была, а и то свихнулась. Нас с тобой и бог простит... Намедни мне машинист Кузьмич што говорил про тебя: «Славная, грит, эта Наташка». Так и сказал. Славный парень, одно слово: чистяк. В праздник с тросточкой по базару ходит, шля-

па на ём пуховая...

— Перестань ты, Аннушка: стыда у тебя нет совсем.

— А ежели Кузьмич не по сердцу, так уставщик Корнило чем плох? Конешно, он староват, а старый-то еще способнее в другой раз... Закидывал мне про тебя словечко намедни и Корнило, да уж я молчу.

— Отстань, смола!

Наташка, однако, крепилась из последнего, крепилась, может быть, потому, что из гордости не хотела поддаться дешевому соблазну. К ней и пристают потому, что она бедная и защититься ей некем. Раньше она боялась и избегала Аннушки, а теперь как-то подружилась с ней. Ведь не съест же она ее в самом деле, ежели у ней и на уме нет ничего худого, как у других фабричных девок. С ней, по крайности, можно и поговорить и посоветоваться, — Аннушка все на свете знала. Так вопрос о Тараске оставался долго открытым. Наташка еще летом решила поместить его в рудобойцы, — все-таки гривенник заробит, как другие парнишки. Но, с другой стороны, ей было до смерти жаль мальчика, эту послед-

нюю надежду и будущую опору семьи. Да и одежонки у Тараска никакой нет, а работа на открытом воздухе, и зимой парнишка заколеет. Сколько ни крепилась Наташка, а пришлось и Тараска свести на фабрику. Это было проклятое утро, когда, после предварительных переговоров с уставщиком Корнилой, дозорным Полуэхтом и записчиком поденных работ, Наташка повела, наконец, брата на работу. В первые же дни мальчик так отмахал себе руки, что не мог идти на работу. У Наташки надрывалось сердце, когда приходилось ранним утром будить Тараска. Мальчик как-то захирел и вставал со слезами и руганью. Приходилось ждать, когда он оденется и поест, и Наташка из-за него опаздывала на фабрику. Когда в темноте Наташка бежала почти бегом по Туляцкому концу и по пути стучалась в окошко избы Чеботаревых, чтобы идти на работу вместе с Аннушкой, солдатки уже не было дома, и Наташка получала выговоры на фабрике от уставщика. Все-таки заработанные Тараском гривенники являлись большим подспорьем для семьи. Когда выпал снег, Тараску не в чем было идти на работу, и

он остался дома. В это же время контора отказала всем в выдаче дарового хлеба из заводских магазинов, как это делалось раньше, когда шел хлебный провиант на каждую крепостную душу.

«Вот когда наша смерть пришла», — в ужасе думала Наташка.

Где же взять и шубу, и пимы, и зимнюю шапку, и теплые варежки Тараску? Отнятый казенный хлеб привел Мавру в молчаливое отчаяние. Вот в такую минуту Наташка и обратилась за советом к Аннушке, как избыть беду. Аннушка всегда жалела Наташку и долго качала головой, а потом и придумала.

— А Кузьмич-то на што? — проговорила она, раскинув своим бабьим умом. — Ужо я ему поговорю... Он в меховом корпусе сейчас ходит, вот бы в самый раз туды Тараска определить. Сидел бы парнишка в тепле и одёжи никакой не нужно, и вся работа с масленкой около машины походить да паклей ржавчину обтереть... Говорю: в самый раз.

— Так уж ты поговори, Аннушка, с Кузьмичом-то...

— Известно, поговорю... Была у него про-

машка супротив меня, — ну, да бог с ним: я не завистлива на этаких-то хахалей.

Благодаря переговорам Аннушки и ее старым любовным счетам с машинистом Тараско попал в механический корпус на легкую ребячью работу. Мавра опять вздохнула свободнее: призрак голодной смерти на время отступил от ее избушки. Все-таки в выписку Тараска рубль серебра принесет, а это, говорят, целый пуд муки.

— Ну, мальчуга, действуй, — прикрикивал Кузьмич, молодой и бойкий машинист. — Да смотри у меня — в машину головой не лезь.

Рядом с меховым корпусом строили помещение для первой паровой машины. Раньше воды хватало на всю фабрику, а теперь и пруд обмелел и плотина обветшала, — пришлось ставить паровую машину. Для фабрики это обстоятельство являлось целым событием: в Мурмосе целых две паровых машины работали, а на Ключевском одна вода. У Кузьмича с паровою машиной были соединены свои расчеты: он перейдет на паровую машину и тогда будет уже настоящим машинистом. Корпус был заложен с начала осени, а по первому

снежку из Мурмоса привезли готовую машину и паровик. Докладывали фундамент под машину и печь для паровика уже в теплом корпусе, а к рождеству пустили в ход и машину. Кузьмич торжествовал, когда вместо крепостного колокола весело загудел его свисток. Теперь все работы на фабрике шли по свистку. Старые мастера нарочно завертывали к Кузьмичу, чтобы посмотреть на мудреную штуку, и сейчас окрестили паровую машину «кобылой».

— Ничего, хорошая скотинка, только уж больно много дров жрет, — похваливали они хитрую выдумку.

Тараско перешел вместе с Кузьмичом в паровой корпус и его должность называлась «ходить у крантов». Новая работа была совсем легкая, и Тараско в холода оставался даже ночевать в паровом корпусе, а есть приносила ему Наташка. Она частенько завертывала «к машине» и весело балагурила с Кузьмичом, пока Тараско опрастывал какой-нибудь бурачок со щами из толстой крупы с сметанною забелой.

— Завертывай когда погреться, — пригла-

шал ее Кузьмич. — Все в тепле посидишь.

Наташке и самой нравилось у Кузьмича, но она стеснялась своей дровосушной сажи. Сравнительно с ней Кузьмич смотрел щеголем, хотя его белая холщовая курточка и была перемазана всевозможным машинным составом вроде ворвани и смазочных масел. Он заигрывал с Наташкой, когда в машинной никого не было, но не лез с нахальством других мужиков. Эта деликатность машиниста много подкупала Наташку.

— Какая-то ты несообразная, — шутил Кузьмич, подсаживаясь к Наташке плечом к плечу. — Не укушу, не бойсь. Хошь, Козловы ботинки подарю? Не глянется? Ну, тогда кумачный платок...

Наташка отрицательно качала головой: не то у ней было на уме, а такие платки да ботинки служили вывеской загулявших девок.

— Посмеяться тебе охота надо мной, — отвечала задумчиво Наташка. — Ведь есть кому платки-то дарить, а меня оставь. И то сиротство заело... Знаю я ваши-то платки. С ними одного сраму не расхлебаешь...

— Ну вот, пошла околесную городить, —

ворчал Кузьмич.

Хотя Наташка и отбивалась кулаками от машинных любезностей Кузьмича, но все-таки завертывала в корпус проведать Тараска и погреться. Ее тянуло сюда даровое тепло. Когда Кузьмич был занят работой, она молча следила за ним глазами. Нечего сказать, парень чистяк и всякое дело у него кипит. В уголке у Кузьмича был прилажен слесарный станок, и он, болтая с Наташкой, ловко работал у ней на глазах разным инструментом. «Не женится он на простой девке, — соображала с грустью Наташка, — возьмет себе жену из служительского дому...» А может быть, и не такой, как другие. Глаза у Кузьмича были добрые, и он всегда такой веселый. Наташка знала про него только то, что Кузьмич родом из Мурмоса и вырос тоже в сиротстве, как и она.

Посещениям Наташки новой машинной наступил неожиданно конец. Незадолго перед рождеством вышла она на работу, как всегда. Свисток уже прогудел в третий раз, и она с Аннушкой бежала на фабрику почти бегом. Спускаясь с плотины по деревянной лест-

нице, она издали заметила какое-то необыкновенное движение. Из доменного корпуса пробежал без шапки Никитич, потом мелькнула долговязая фигура Полуэхта, и около новой машинной сбежалась целая толпа, которая молча расступилась, когда пришли Наташка с Аннушкой. У Наташки все похолодело внутри от какого-то предчувствия. Ее больно толкнул фельдшер Хитров, бежавший с ватой в руках.

— Неладно, Наташка, — шепнула ей кержанка Марька. — Брательника твово паром сварило...

Утром, когда Кузьмич выпускал пар, он спросонья совсем не заметил спавшего под краном Тараска и выпустил струю горячего пара на него. Сейчас слышался только детский прерывавшийся крик, и, ворвавшись в корпус, Наташка увидела только широкую спину фельдшера, который накладывал вату прямо на обваренное лицо кричавшего Тараска. Собственно лица не было, а был сплошной пузырь... Тараска положили на чью-то шубу, вынесли на руках из корпуса и отправили в заводскую больницу.

Глава 35

Домнушка была огорчена, хотя никто не знал, кто и чем мог ее обидеть. Кучер Семка только успевал в кухне поесть и сейчас же скрывался, казачок Тишка и глаз не показывал. Оставались на прежнем положении горничная Катря да старый караульщик Антип, — первой никак нельзя было миновать кухни, а второму не было никуда другой дороги, как от своей караушки до господской кухни. Рвавшая и метавшая Домнушка теперь оказывала старику заметное предпочтение и подкидывала ему при случае кое-какие объедки. Домнушка управляется около своей печи, а старый Антип сидит у порога и смотрит. Когда наверху послышатся тяжелые шаги Катри, которая сейчас ходила не босая, а в новых ступнях, Домнушка принималась сердито ворчать:

— Совсем истварились нынешние девки, пряменько сказать.

— Это точно... это ты верно, Домнушка, — как эхо откликался Антип.

Когда Катря спускалась в кухню, Домнушка стороной непременно сводила разговор на

Аграфену Гущину, о которой доходили самые невероятные слухи.

— Родила она, слышь, в скиту-то, — сообщала Домнушка. — Мертвенького выкинула... Ох, грех тяжкий!.. А другие опять оказывают, что живым ребеночком разродилась.

— А сама виновата, — подтягивал Антип. — Ежели которая девка себя не соблюдает, так ее на части живую разрезать... Вот это какое дело!.. Завсегда девка должна себя соблюдать, на то и званье у ней такое: девка.

— Аглаидой теперь перекрестили Аграфену-то, — продолжала Домнушка свою мысль. — Тоже и придумают... Ужо теперь загуляет со старцами ихними. Одинова нашей-то сестре ошибиться, а тут мужичишки, как бесы, к тебе пристанут... Тьфу!..

Катря краснела, молчала и поскорее старалась улизнуть наверх, а Домнушка только качала головой. С барышней Домнушка тоже обращалась как-то сурово и постоянно ворчала на нее. Чуть маленькие ножки Нюрочки покажутся на лестнице, как Домнушка сейчас же и оговорит ее:

— Не твое это дело, барышня, наши му-

жицкие разговоры слушать... Иди-ка к себе в комнату да читай в свою книжку.

Нюрочке делалось совестно за свое любопытство, и она скрывалась, хотя ее так и тянуло в кухню, к живым людям. Петр Елисеич половину дня проводил на фабрике, и Нюрочка ужасно скучала в это время, потому что оставалась в доме одна, с глазу на глаз все с тою же Катрей. Сидор Карпыч окончательно переселился в сарайную, а его комнату временно занимала Катря. Веселая хохлушка тоже заметно изменилась, и Нюрочка несколько раз заставала ее в слезах.

— Это тебя опять Домнушка бранила? — спрашивала Нюрочка.

— Змея она подколодная, вот что! — плакала Катря. — Поедом съела, проходу не дает... И чем только я помешала ей?

Раз, когда Петр Елисеич пришел из завода, Нюрочка не утерпела и пожаловалась на Домнушку.

— В чем дело? Что такое случилось, крошка? — рассеянно спрашивал Петр Елисеич. — Домнушка вас обижает? Ах, да...

Петр Елисеич неожиданно смутился, пома-

хал платком и торопливо ушел в свой кабинет, а Нюрочка так и осталась с раскрытым ртом от изумления. Вообще, что-то случилось, а что — Нюрочка не понимала, и никто ей не мог ничего объяснить. Ей показалось только, что отец точно испугался, когда она пожаловалась на Домнушку.

Раз, когда днем Катря опять ходила с заплаканными глазами, Петр Елисеич, уложив Нюрочку спать, позвал Домнушку к себе в кабинет. Нюрочка слышала только, как плотно захлопнулась дверь отцовского кабинета, а потом послышался в нем настоящий крик, — кричал отец и кричала Домнушка. Потом отец уговаривал в чем-то Домнушку, а она все-таки кричала и голосила, как настоящая баба.

— Богу ответите за сироту, Петр Елисеич! — доносился звонкий голос Домнушки через запертые двери. — Другие-то побоятся вам оказать, а я вся тут... Нечего с меня взять, с солдатки! Дочь у вас растет, большая будет, вам же стыдно... Этакой срам в дому! Беспременно этого варнака Тишку в три шеи. Обнакновенно, Катря — глупая девка и больше ни-

чего, а вы хозяин в дому и ответите за нее.

— Да я-то причем тут, Домнушка?

— А кто же хозяин в дому?.. Глядеть тошнехонько.

Вообще происходило что-то непонятное, странное, и Нюрочка даже поплакала, зарывшись с головой под свое одеяло. Отец несколько дней ходил грустный и ни о чем не говорил с ней, а потом опять все пошло по-старому. Нюрочка теперь уже начала учиться, и в ее комнате стоял особенный стол с ее книжками и тетрадками. Занимался с ней по вечерам сам Петр Елисеич, — придет с фабрики, отобедает, отдохнет, напьется чаю и скажет Нюрочке:

— О чем мы с тобой говорили в прошлый раз?

— О Кювье,[390] папа...

Занимался с дочерью Петр Елисеич по-своему. Выучилась читать и писать она шутя. Дальше следовала арифметика, французский язык и священная история. Арифметику и французский язык Нюрочка не любила и только ждала с нетерпением, когда отец начнет ей что-нибудь рассказывать. Он выбирал

биографии великих ученых и рассказывал ей, как они жили, как они учились, как работали. Это был лучший метод, действовавший на детскую душу неотразимо. Была еще любимая книжка у Нюрочки, — это всеобщая история Ляме-Флери, которую она уже читала одна.

— Папа, ведь и они были маленькими: Кювье, Бюффон, Лаплас, Биша?[391] — спрашивала Нюрочка задумчиво.

— Да, крошка.

— Из нынешних детей тоже будут и Кювье и Бюффон?

— Дай бог.

Нюрочка задумывалась и говорила после длинной паузы:

— Как им было трудно, папа, бедненьким... Такие маленькие и уж сколько знали.

— Это необыкновенные люди, крошка, и для них все легко, что нам с тобой покажется трудным.

Воодушевившись, Петр Елисеич рассказывал о больших европейских городах, о музеях, о разных чудесах техники и вообще о том, как живут другие люди. Эти рассказы уносили

Нюрочку в какой-то волшебный мир, и она каждый раз решала про себя, что, как только вырастет большая, сейчас же уедет в Париж или в Америку. Слушая эту детскую болтовню, Петр Елисеич как-то грустно улыбался и молча гладил белокурую Нюрочкину головку.

— Ты уедешь, а я-то как же буду? — спрашивал он.

— И тебя, папа, возьму с собой... Вместе поедем.

Выросшая среди больших, Нюрочка и говорила, как большие. В куклы она не любила играть.

Из посторонних в господском доме являлись только приезжавшие по делам из Мурмоса заводские служащие, исправник Иван Семеныч и Самойло Евтихыч из Самосадки. Мурмосские служащие для Нюрочки оставались чужими людьми, а двое последних были уже своими. Иван Семеныч баловал ее и часто играл в медведя, то есть устраивал себе из стульев берлогу, садился там на корточки и начинал «урчать», а Нюрочка бегала кругом и хохотала до слез. Как неисправимый хохол, Иван Семеныч говорил «ведметь» вместо мед-

ведь. С Груздевым сношения были чаще, и Самойло Евтихыч каждый раз привозил Нюрочке разные гостинцы: то куклу, то игрушку, то просто разных сластей.

Раз утром, когда Нюрочка сидела в своей комнате за книжками, в ее комнату неслышными шагами вошла Анфиса Егоровна и, подкравшись, обняла сзади.

— Угадай, кто? — спрашивала она, закрывая Нюрочке глаза ладонями.

— Это вы, Анфиса Егоровна...

Нюрочке больше всего удивительным показалось то, что она совсем не слыхала, как приехала гостья и как вошла в комнаты. Потом, у них никогда не бывали гостями женщины.

— В гости к тебе приехала, — объясняла Анфиса Егоровна. — Ну, как ты поживаешь здесь? Не скучаешь?

— Нет.

Анфиса Егоровна отнеслась с каким-то болезненным участием к Нюрочке и до последней мелочи осмотрела всю ее комнату, а потом и весь дом. Спустившись в кухню, она и там произвела самую строгую ревизию. Дом-

нушка заметно смутилась, — она привыкла хозяйничать в свою голову, а Петр Елисеич в ее кухонные дела не вмешивался. Анфиса Егоровна отыскала зеленые пятна на медных кастрюлях, кое-где грязь, кое-где пыль, велела выжить тараканов, привольно гулявших по запечью, и несколько раз покачала головой, когда Домнушка по пальцам пересчитывала выходившую провизию.

— Многонько, голубушка, многонько для двоих-то, — повторяла Анфиса Егоровна и опять качала головой.

— Да ведь у нас приезд, Анфиса Егоровна, — оправдывалась Домнушка. — С Мурмоса постоянно гонят.

— Знаю, знаю, милая...

На Катрю Анфиса Егоровна не обратила никакого внимания и точно не замечала ее. В зале она велела переставить мебель, в столовой накрыли стол по-новому, в Нюрочкиной комнате постлали ковер — одним словом, произведена была маленькая революция, а гостья все ходила из комнаты в комнату своими неслышными шагами и находила новые беспорядки. Когда вернулся с фабрики Петр

Елисеич, он заметно смутился.

— Чем я вас буду угощать, Анфиса Егоровна? — спрашивал он. — Живу старым вдовцом и совсем мохом оброс...

После обеда Анфиса Егоровна ушла в кабинет к Петру Елисеичу и здесь между ними произошел какой-то таинственный разговор вполголоса. Нюрочке было велено уйти в свою комнату. О чем они говорили там и почему ей нельзя было слушать? — удивлялась Нюрочка. Вообще поведение гостьи имело какой-то таинственный характер, начинавший пугать Нюрочку. По смущенным лицам прислуги девочка заметила, что у них в доме вообще что-то неладно, не так, как прежде.

После этой таинственной беседы Анфиса Егоровна велела Нюрочке одеваться.

— В гости поедем, — объявила она с строгою ласковостью.

Кучер Семка отвез их в Кержацкий конец, в избушку Таисьи. Получерничка всполошилась и не знала, куда усадить дорогих гостей и чем их угостить. Анфиса Егоровна держала себя с приличною важностью, а Нюрочке показалось ужасно скучно, когда гостья и хозяй-

ка заговорили между собой вполголоса и Анфиса Егоровна опять качала головой, а Таисья поглядывала на Нюрочку своими печальными глазами с скрытою любовью. Нюрочка поняла только, что они все время говорили про какую-то Аграфену, а потом еще про какую-то женщину, которую следовало непременно выгнать из дому. Должно быть, это была очень нехорошая женщина, если и Анфиса Егоровна и Таисья говорили о ней с такою злобой.

— Хоть бы ты, Таисьюшка, когда заглянула, — пеняла Анфиса Егоровна. — Все же женский глаз, а то смотреть-то тошнехонько. И та постыдилась бы чужого-то человека... Величка ли девочка, а тут... ох, и говорить-то так нехорошо!..

Нюрочка чуть не заснула от этих непонятных разговоров и была рада, когда они поехали, наконец, домой. Дорогой Анфиса Егоровна крепко обняла Нюрочку и ласково поцеловала.

— Ах ты, моя девочка, девочка... — шептала она со слезами на глазах.

Ужин прошел очень скучно. Петр Елисеич

больше молчал и старался не смотреть на гостью. Она осталась ночевать и расположилась в комнате Нюрочки. Катря и Домнушка принесли ей кровать из бывшей комнаты Сидора Карпыча. Перед тем как ложиться спать, Анфиса Егоровна подробно осмотрела все комоды и даже пересчитала Нюрочкино белье.

— А молиться ты умеешь? — спросила она, надевая кофту.

Нюрочка попалась. Молиться ее учил только о. Сергей, а отец не обращал на это никакого внимания.

— Ну-ка, сложи крест, — заставляла Анфиса Егоровна. — Нет, не ладно, милая: это не наш крест... Нужно молиться большим крестом, вот так.

Анфиса Егоровна сложила Нюрочкины пальчики в двуперстие и заставила молиться вместе с собой, отбивая поклоны по лестовке, которую называла «Христовою лесенкой». Потом она сама уложила Нюрочку, посидела у ней на кроватке, перекрестила на ночь несколько раз и велела спать. Нюрочке вдруг сделалось как-то особенно тепло, и она подумала о своей матери, которую помнила как во

сне.

— Ты спи, а я посижу около тебя... — шептала Анфиса Егоровна, лаская тонкое детское тельце своею мягкою женскою рукой. — Закрой глазки и спи.

Когда утром Нюрочка проснулась, Анфисы Егоровны уже не было — она уехала в Самосадку так же незаметно, как приехала, точно тень, оставив после себя не испытанное еще Нюрочкой тепло. Нюрочка вдруг полюбила эту Анфису Егоровну, и ей страшно захотелось броситься ей на шею, обнимать ее и целовать.

Катря была переведена в сарайную, а Сидор Карпыч опять поселился в своей комнате рядом с Нюрочкой. Тишка приходил несколько раз в кабинет к Петру Елисеичу и получал головомойку: Петр Елисеич усовещивал его, кричал и даже топал ногами.

Глава 36

У Петра Елисеича дела было по горло. Деятельность завода переживала переходное время. От дарового крепостного труда нужно было перейти к платному, а сообразно с этим требовались нововведения, изменения и во-

обще крупные реформы всего производства. Время шло, а пока еще в этом направлении ничего не было известно. Опять тормозила петербургская контора, потому что весь вопрос сводился на деньги; заводовладельцы привыкли только получать с заводов миллионные прибыли и решительно ничего не вкладывали в дело от себя. Не существовало даже оборотного капитала для заводских операций, а о запасном не было и помину. Конечно, так нельзя было идти дальше, что понимал даже Лука Назарыч. Старик сердился на Мухина за его выходку на Медном руднике, но смирил себя и обратился к нему с заказом составить докладную записку по поводу необходимых реформ заводского дела, сообразно с требованиями и условиями нового положения. Из крепостных управителей Мухин являлся единственным человеком, на которого возможно было возложить такое поручение. Петр Елисеич был рад этой работе и с головой зарылся в заводские книги, чтобы представить полную картину заводского хозяйства, а потом те реформы, какие необходимо было сделать ввиду изменившихся условий. Вот

когда пригодились хоть отчасти те знания, которые были приобретены Мухиным за границей, хотя за сорок лет много воды утекло, и заводская крупная промышленность за это время успела шагнуть далеко. Вся Европа успела перестроиться из конца в конец, а железные дороги покрыли ее живою сетью. Переместились некоторые бойкие промышленные центры, выдвинулись далеко вперед новые отрасли труда и создались несуществовавшие сношения, обороты и грандиозные предприятия, о каких не смели мечтать даже самые смелые умы. Там широкою волной катилась настоящая жизнь, о которой Петр Елисеич знал только из газет и по книгам. На этом чужом фоне собственное крепостное убожество выступало с особенною яркостью, и если когда можно было его исправить, то именно теперь. Петр Елисеич всею душой верил в это открывавшееся будущее, для которого стоило поработать.

Над своею работой он просидел все праздники и успокоился только тогда, когда объемистая рукопись отправлена была, наконец, в Мурмос. За этим делом Петр Елисеич совсем

забыл окружающих и даже о том, что в последнее время отравляло ему жизнь. Кончив работу, он, к удивлению, пережил тяжелое настроение: не с кем было поделиться своими мыслями. Нюрочка была еще мала, а свои заводские служащие из крепостных не поняли бы его. Это сознание своего одиночества проснулось с новою силой. Оставался Груздев, с которым Петра Елисеича связывало землячество, но и тот показывался в Ключевском заводе редко и вечно торопился по своим бесконечным делам. Петру Елисеичу казалось, что как будто старый друг избегал его. Он кстати припоминал таинственный визит Анфисы Егоровны и только морщился от внутренней душевной боли. В сущности он очень любил эту простую и добрую женщину, но зачем она вмешивается в чужие дела? Как казалось Петру Елисеичу, именно со времени этого визита Нюрочка изменилась в отношениях к нему и время от времени так пытливо смотрит на него, точно не решается спросить что-то. Между отцом и дочерью легла первая житейская тень.

Груздев приехал перед масленицей и оста-

новился в господском доме. Петр Елисеич обрадовался ему, как дорогому гостю, потому что мог с ним отвести душу. Он вытащил черновые посланного проекта и торопливо принялся объяснять суть дела, приводя выдержки из посланной рукописи. Груздев слушал его со вниманием заинтересованного человека.

— Ведь все правда, да? — спрашивал Петр Елисеич, размахивая черновой. — Вот когда привелось сказать им все... Меня беспокоит только одно. Конечно, в прежнем виде дело оставаться не может, но введение реформ на заграничный манер связано с некоторыми практическими неудобствами. Например, я проектирую печь Сименса. Прекрасная вещь сама по себе, потому что не потребуется практикующейся нынче сушки дров, а потом и дров потребуется вдвое меньше, потому что в дело пойдет и хворост, и щепы, и разный хлам. Теперь мы тратим около пятнадцати тысяч кубических сажен дров, а тогда потребуется всего пять тысяч. Теперь с сушкой дрова нам обходятся около восьми рублей сажень, а тогда будет стоить сажень сырых

дров всего четыре рубля. Ведь отлично, потому что получается громадное сбережение. А между тем выходит такая штука: сто пятьдесят дроворубов при двухстах лошадях останутся без дела, да около шестидесяти человек поденщиц-дровосушек. Они, эти дровосушки, вышли на работу после воли первыми, и первыми же должны остаться без работы. У меня это просто на совести. И так в каждой статье. Чтобы не сделать такой переход слишком резким, необходимо расширить производство и ввести новые работы, как, например, добывание торфа. Но когда еще и что будет, а придется начать с сокращения старых работ. Меня эта мысль просто убивает. Положим, в Европе давно все машина делает, а мы еще должны переживать этот болезненный переход от ручного труда к машинному производству. Другой пример: кричное производство... Ведь это наша слава и гордость, кричное полосовое железо лучше прокатанного в машине, а между тем мы должны его закрыть, как невыгодную статью. Лучшие мастера останутся без дела...

— Что будешь делать... — вздыхал Груз-

дев. — Чем дальше, тем труднее жить становится, а как будут жить наши дети — страшно подумать. Кстати, вот что... Проект-то у тебя написан и бойко и основательно, все на своем месте, а только напрасно ты не показал мне его раньше.

— А что?

— Неладно маленько, Петр Елисеич... Ты уж меня извини, а я тебе пряменько скажу: неладно. Видишь, какая штука выходит: старое-то дело ты все охаял... так? Все неладно выходит по-твоему, так?

— Конечно... Можно сказать больше: одно безобразие у нас было. Но ведь я говорю о крепостном времени.

— Так-то оно так, а кто твой проект читать будет? Лука Назарыч... Крепостное право изничтожили, это ты правильно говоришь, а Лука Назарыч остался... Старухи так говорят: щука-то умерла, а зубы остались... Смотри, как бы тебе благодарность из Мурмоса кожей наоборот не вышла. Один Овсянников чего стоит... Они по прежнему гнут, чтобы вольного-то мужика в оглобли завести, а ты дровосушек да кричных мастеров здесь жалеешь. А

главная причина. Лука Назарыч обидится.

— А ведь ты верно говоришь, — согласился обескураженный Петр Елисеич. — Как это мне самому-то в голову не пришло? А впрочем, пусть их думают, что хотят... Я сказал только то, что должен был сказать. Всю жизнь я молчал, Самойло Евтихыч, а тут прорвало... Ну, да теперь уж нечего толковать: дело сделано. И я не жалею.

В свою очередь Груздев приехал тоже потолковать о своих делах. По раскольничьей привычке, он откладывал настоящий разговор вплоть до ночи и разговорился только после ужина, когда Нюрочка ушла спать, а они остались за столом с глазу на глаз.

— Надумал я одну штуку, Петр Елисеич, — нерешительно заговорил Груздев, поглядывая на хозяина сбоку. — Надумал, да и страшно как-то...

— Именно?

— Думаю переехать на житье в Мурмос.

— А как же Самосадка?

— Вот я то же самое думаю и ничего придумать не могу. Конечно, в крепостное время можно было и сидя в Самосадке орудовать... А

вот теперь почитай и дома не бываю, а все в разъездах. Уж это какая же жизнь... А как подумаю, что придется уезжать из Самосадки, так даже оторопь возьмет. Не то что жаль насиженного места, а так... какой-то страх.

— Ну, это уж вздор, Самойло Евтихыч, — улыбнулся Мухин. — Как-то даже странно слышать от взрослого человека такие детские вещи... Пристанских старух поменьше слушай.

— Да ведь сам-то я разве не понимаю, Петр Елисеич? Тоже, слава богу, достаточно видали всяких людей и свою темноту видим... А как подумаю, точно сердце оборвется. Ночью просыпаюсь и все думаю... Разве я первый переезжаю с одного места на другое, а вот поди же ты... Стыдно рассказывать-то!

— Сделай так: дом на Самосадке не продавай... Все-таки, в случае чего, гнездо останется.

— Это ты верно... — рассеянно соглашался Груздев. — Делами-то своими я уж очень раскидался: и кабаки, и лавки с красным товаром, и караван, и торговля хлебом. Одних приказчиков да целовальников больше два-

дцати человек, а за каждым нужен глаз... Наше дело тоже аховое: не кормя, не поя, ворога не наживешь.

— Мои совет — переезжать. В Мурмосе будешь жить — до всего близко... Тогда и кабаки можешь бросить. Не люблю я этого дела, Самойло Евтихыч.

— А кто его любит? Самое поганое дело... Целовальники, и те все разбежались бы, если бы ихняя воля. А только дело верное, поэтому за него и держимся... Ты думаешь, я много на караване заводском наживу? Иной год и из кармана уплывет, а кабаками и раскроюсь. Ежели бог пошлет счастки в Мурмосе, тогда и кабаки побоку... Тоже выходит причина, чтобы не оставаться на Самосадке. Куда ни кинь, везде выходит, что уезжать.

Груздев сидел у стола, как-то по-старчески опустив голову. Его бородатое бойкое лицо было теперь грустно, точно он предчувствовал какую-то неминучую беду. Впрочем, под влиянием лишней рюмки на него накатывался иногда такой «стих», и Петру Елисеичу показалось, что благоприятель именно выпил лишнее. Ему и самому было не легко.

— Знаешь, что я тебе скажу, — проговорил Петр Елисеич после длинной паузы, — состарились мы с тобой, старина... Вот и пошли ахи да страхи. Жить не жили, а состарились.

— Верно, родимый мой! — точно обрадовался Груздев, что причина его недовольства, наконец, нашлась. — Седой волос пробивается, а ровно все еще только собираешься жить.

Ночевал Груздев в сарайной вместе с своим обережным Матюшкой, который днем ходил в Кержацкий конец проведовать брательников.

— Куда они Аграфену-то девали? — спрашивал Груздев сонным голосом, уже лежа в постели. — Ох-хо-хо... А девка-то какая была: ломтями режь да ешь.

— А кто ее знает, куды она провалилась, — неохотно отвечал Матюшка, почесывая затылок. — Куды больше, как не в скиты... Улимонила ее эта Таисья, надо полагать.

Матюшка еще раз почесал в затылке и прибавил, глядя по-медвежьи в сторону:

— И што я тебе окажу, Самойло Евтихыч... Мочеганка-то эта самая, вот которая при горницах у Петра Елисеича... Петр-то Елисеич хо-

ша и старичок, а полюбопытствовал...

— Молчи, дурак! Не наше дело.

— Будь они прокляты, эти самые девки: кто их и придумал... — ворчал Матюшка, укладываясь спать в передней.

Матюшка думал крайне тяжело, точно камни ворочал, но зато раз попавшая ему в голову мысль так и оставалась в Матюшкином мозгу, как железный клин. И теперь он лежал и все думал о мочеганке Катре, которая вышла сейчас на одну стать с сестрой Аграфеной. Дуры эти девки самые...

Груздев, по обыкновению, проснулся рано и вскочил, как встрепанный. Умывшись и положив начал перед дорожным образком, он не уехал, как обыкновенно, не простившись ни с кем, а дождался, когда встанет Петр Елисеич. Он заявился к нему уже в дорожной оленьей дохе и таком же треухе и проговорил:

— Вот что, родимый мой... Забыл тебе вечор-то оказать: на Мурмосе на тебя все сваливают, — и что мочегане задумали переселяться, и что которые кержаки насчет земли начали поговаривать... Так уж ты тово, родимый мой... береженого бог бережет. Им бы только

свалить на кого-нибудь.

Петр Елисеич только сейчас понял, зачем оставался Груздев: именно ему нужно было предупредить его, и он сделал это в самую последнюю минуту, как настоящий закоснелый самосадский кержак.

Когда Груздев уже садился в свою кошевую, к нему подбежала какая-то женщина и комом повалилась в ноги.

— Что тебе нужно, милая? — спрашивал Груздев, сморщив брови.

— Самойло Евтихыч, возьми ты себе парнишечка, — голосила какая-то девка со слезами на глазах. — Беднота одолела.

— Сколько ему лет?

— Одиннадцать в петровки будет.

— Ладно, — коротко ответил Груздев, сел в кошевую и крикнул: — Трогай!

Голосившая девка была Наташка. Ее подучила, как все сделать, сердобольная Домнушка, бегавшая проведовать лежавшего в лазарете Тараска.

— Ну, слава богу! — говорила она Наташке. — Сказал одно слово Самойло Евтихыч и будет твой Тараско счастлив на всю жизнь.

Пошли ему, господи, хоть он и кержак. Не любит он отказывать, когда его вот так поперек дороги попросят.

Глава 37

Разногласие ходоков и споры по этому поводу задержали переселение мочеган по крайней мере месяца на два. Дело быстро двинулось вперед благодаря совершенно случайному обстоятельству. Главное заводское управление в Мурмосе давно косилось на поднятую ключевскими мочеганами смуту, но открытых мер против этого движения пока не принимало никаких, ограничиваясь конфиденциальными справками и частными слухами. Но вскоре после святок в Ключевской завод приехал горный исправник Иван Семеныч с секретным поручением остановить движение. Предостережение Груздева оправдалось: в Мурмосе не доверяли Петру Елисеичу.

— Что тут у вас делается, душа моя? — спрашивал Иван Семеныч, как только вошел в кабинет к Петру Елисеичу. — Бунт…

— Пока ничего особенного, Иван Семеныч, а о бунте не слыхал. Просто туляки затеяли

переселяться в Оренбургскую губернию, о чем я уже писал в свое время главному заводоуправлению. По моему мнению, явление вполне естественное. Ведь они были пригнаны сюда насильно, как и хохлы.

— Знаю, знаю, душа моя, а все-таки должны быть коноводы... Впрочем, я должен тебя предупредить, ангел мои, что я знаю решительно все. Да-с... Вот мы этих смутьянов и пощупаем... хе-хе!

— Если вы все знаете, так вам же лучше, — сухо ответил Петр Елисеич.

В господский дом для увещания в тот же день были вызваны оба ходока и волостные старички. С небольшими изменениями повторилась приблизительно та же сцена, как и тогда, когда ходоков приводили «судиться к приказчику». Каждый повторял свое и каждый стоял на своем. Особенно в этом случае выдвинулся упрямый Тит Горбатый.

— Значит, о переселении ты думал еще раньше, душа моя? — допрашивал его Иван Семеныч.

— А кто его знает, ваше высокоблагородие... Может, и раньше думали, — напрасно

старался припомнить Тит. — Конешно, этово-тово, думали, а настоящий разговор пошел быдто с весны...

— А со стороны никто не подбивал вас? Может быть, письма были... ну, странники там, старушонки разные?

— Нет, не упомню, ваше высокоблагородие... Так, значит, этово-тово, промежду себя толковали.

— Вот у тебя дом, старик, все хозяйство, и вдруг надо будет все разорить. Подумал ты об этом? Сам разоришься и других до сумы доведешь... От добра добра не ищут.

— Это ты верно... Конешно, как не жаль добра: тоже горбом, этово-тово, добро-то наживали. А только нам не способно оставаться-то здесь... все купляй... Там, в орде, сторона вольная, земли сколько хошь... Опять и то сказать, што пригнали нас сюда безо всего, да, слава богу, вот живы остались. Бог даст, и там управимся.

Это очевидное упрямство старика и какая-то тупость ответов навели Ивана Семеныча на мысль, что за ним стоит кто-нибудь другой, более ловкий. В числе увещеваемых ста-

ричков больше других галдел Деян Поперешный, и проницательное око Ивана Семеныча остановилось на нем.

— Да это совсем пустой мужик, — объяснял Петр Елисеич, когда исправник высказал ему свои подозрения. — Где шум, там и Деян... И кличка у него по шерсти: Поперешный.

Иван Семеныч бился со стариками целых два дня и ничего не мог добиться. Даже был приглашен к содействию о. Сергей, увещания и советы которого тоже не повели ни к чему. Истощив весь запас своей административной энергии, Иван Семеныч махнул рукой на все.

— А ну их к черту, этих мочеган!.. Мне бы только полтора года до пенсии дослужить, а там хоть трава не расти...

Этот эпизод разрешил все сомнения. Дело было яснее дня. Даже самые нерешительные присоединились теперь к общему течению. Это был захватывающий момент, и какая-то стихийная сила толкала вперед людей самых неподвижных, точно в половодье, когда выступившая из берегов вода выворачивает деревья с корнем и уносит тяжелые камни. Не могли увлекаться этим общим движением

только те, кто не мог уехать по бедности или слабости, как увечные, старики, бобылки. Волнение захватило даже фабрику. Заговорили кержаки, поддаваясь общему настроению, и по корпусам шли не менее оживленные разговоры, чем в кабаке Рачителихи или у волости.

— Дураки вы все! — ругался Никитич, перебегая из корпуса в корпус, как угорелый. — Верно говорю, родимые мои: дураки... Ведь зря только языками мелете. Пусть мочеганы сами сперва поедят своего-то хлеба... Пусть!..

— Ишь судорога! — удивлялись рабочие, глядя, как Никитич убивается над чужими делами. — С исправником снюхался да с приказчиком...

До сих пор ни на фабрике, ни в кабаке, нигде не поднималось разговоров о тех жестокостях, которые проделывались еще недавно на заводах, а теперь все это всплыло, как масло на воде. Припомнились все неистовства старого Палача, суровые наказания самого Луки Назарыча и других управляющих, а из-за этих воспоминании поднялась кровавая память деда нынешнего заводовладельца, старика

Устюжанинова, который насмерть заколачивал людей у себя на глазах. Нашлись старики, которые хорошо помнили и шпицрутены и устюжаниновские кнутья, которыми нещадно били всякую живую заводскую душу. Мало ли по заводам у огненной работы бывало всякого зверства... Ключевской завод под мягким управлением Мухина успел забыть многое, а о старых жестокостях напоминали только крепостные разбойники да дураки, как жертвы своего времени. Даже неугомонный Никитич замолк, когда поднялись эти разговоры, и скрылся к себе под домну. Мочегане, пожалуй, и не застали того, что пережил Кержацкий конец: им достались только крепостные цветочки.

Туляцкому и Хохлацкому концам было не до этих разговоров, потому что все жили в настоящем. Наезд исправника решил все дело: надо уезжать. Первый пример подал и здесь Деян Поперешный. Пока другие говорили да сбирались потихоньку у себя дома, он взял да и продал свой покос на Сойге, самый лучший покос во всем Туляцком конце. Покупателем явился Никитич. Сделка состоялась, конечно,

в кабаке и «руки розняла» сама Рачителиха.

— Мне што покос! — кричал Деян. — Не с собой везти... Владай, Никитич, твои счастки. Вот я каков человек есть...

Это послужило точно сигналом, и туляцкое добро полетело: продавали покосы, избы, скотину. Из кержаков купили избы в Туляцком конце старик Основа и брательник-третьяк Гущин, а потом накинулись хохлы. Туляцкая стройка была крепкая, а свои избы у хохлов были поставлены кое-как.

— Пусть хохлы поживут в хороших-то избах да нас добром поминают, — говорил Деян.

Нажитое годами добро шло за полцены, да и на него покупателей не находилось. Половина изб оставалась без хозяев. Бойкая Рачителиха купила за двадцать рублей две избы, — а одну поместила свою мать, старуху Акулину, а в другую пустила жить мать Окулка с Наташкой. Всех переселенцев насчитывали за сто дворов, а из них девяносто в Туляцком конце. Мужики продавали избы и покосы, а бабы зорили разный домашний скарб и продавали скотину. Хохлы прохарчились на избы, а остальное туляцкое добро ушло в Кер-

жацкий конец. Домовитые кержанки особенно рвали скотину, которая в общей сутолоке точно сбесилась, особенно коровы. Тулянки своими руками должны были уводить ревевших и упиравшихся коров в Кержацкий конец. От этой картины общего разгрома дрогнуло сердце даже у Тита Горбатого, и у него в голове зашевелилась мысль, уж ладно ли дело затеялось. Собственно горбатовский двор со всем горбатовским добром уцелел, за исключением разной куренной снасти, проданной в Кержацкий конец. Макар заплатил отцу «выход», а то, за что не было заплачено, пошло в часть отсутствовавшего солдата Артема. Упрямый Тит был рад, что Макар остается: горбатовский двор не будет пустовать. Основа уже приценивался к нему, но отъехал ни с чем.

Зимний мясоед прошел в этих сборах незаметно. В это время обыкновенно в Туляцком конце «играли свадьбы», а нынче только Чеботаревы выдали одну дочь, да и то все дело свертели на скорую руку, так что свадьба походила на пожар. Не до свадеб, когда деньги всем нужны: переселенцам на далекую доро-

гу, а оставшиеся дома издержались на покупку. Молодые хоть и отмалчивались, но невольно поддавались общему увлечению. Старики и старухи командовали вполне. Притихли даже те, которые кричали раньше против переселения. Не такое было время, чтобы разговоры разговаривать.

Самое тяжелое положение получалось там, где семьи делились: или выданные замуж дочери уезжали в орду, или уезжали семьи, а дочери оставались. Так было у старого Коваля, где сноха Лукерья подняла настоящий бунт. Семья, из которой она выходила замуж, уезжала, и Лукерья забунтовала. Сначала она все молчала и только плакала потихоньку, а потом поднялась на дыбы, «як ведмедица».

— Лежебоки проклятые, эти хохлы, — ругалась Лукерья с своею свекровью Ганной. — Только бы им вино трескать... Небойсь испугались орды, потому как там работы всем будет.

— Ото цокотуха! — удивлялась Ганна. — Видкиль ущемилась наша баба!.. Зовсим сказылась![392]

— И хохлушки такие же, — не унималась

Лукерья.

Ганна даже поплакала тихонько от взбесившейся снохи и пожаловалась старому Ковалю:

— Хиба ж я не твоя жинка, Дорох?

— Эге! — ответил Коваль. — А це що таке?.. То я ж ее, ведмедицу, за ухи скубти буду... Геть, лядаща! Чего вона мордуе?.. Побачимо, що з того выйде?..

Действительно, когда вся семья была в сборе, старый Коваль подтянулся и строго сказал Лукерье:

— Эй ты, голова з ухами... А доки ты будешь тут гвалтувати, пранцеватая? Отто гадюка... Терех, почипляй жинку!

Терешка-казак только посмотрел на отца, — дескать, попробуй-ка сам зацепить проклятую бабу. Чтобы напустить «страховыну», Коваль схватился даже за свою черемуховую палку, как это делал сват Тит. Впрочем, Лукерья его предупредила. Она так завопила, как хохлы и не слыхивали, а потом выхватила палку у старика и принялась ею колотить мужа.

— Эге! Отто чертова баба! — заорал Ко-

валь. — Та я ж тебя вывертаю, як козу к празднику.

Коваль даже засучил рукава, чтобы поучить ведмедицу, но в тот же момент очутился сначала во дворе, а потом на улице. «Щось таке було?» — удивился старик вслух. Когда за ним громко захлопнулись ворота, Коваль посмотрел на стоявшего рядом сына Терешку, улыбнулся и проговорил:

— Терешка, это ты?

— Я, тату.

— Эге!.. А ты не говори, що тебе жинка колотила... Больно дерется, проклятуща.

По безмолвному соглашению Ковали отправились прямо к Рачителихе.

— Перш усего выпьем чарочку за шинкарочку, — балагурил у кабацкой стойки старый Коваль, как ни в чем не бывало. — Ну, Дуня, давай нам трохи горилки, щоб вороги мовчалы и сусиди не зналы... Так я говорю, Терешка? Отто ведмедица!.. отто проклятуща!..

Глава 38

На фабрике работа шла своим чередом. По прежнему дымились трубы, по прежнему

доменная печь выкидывала по ночам огненные снопы и тучи искр, по-прежнему на плотине в караулке сидел старый коморник Слепень и отдавал часы. Впрочем, он теперь не звонил в свой колокол на поденщину или с поденщины, а за него четыре раза в день гудел свисток паровой машины.

— Этакое хайло чертово, подумаешь! — ругался каждый раз Слепень, когда раздавался этот свисток. — Не к добру он воет.

У старика, целую жизнь просидевшего в караулке, родилась какая-то ненависть вот именно к этому свистку. Ну, чего он воет, как собака? Раз, когда Слепень сладко дремал в своей караулке, натопленной, как баня, расщелявшаяся деревянная дверь отворилась, и, нагнувшись, в нее вошел Морок. Единственный заводский вор никогда и глаз не показывал на фабрику, а тут сам пришел.

— Здравствуй, дедушка.

— Здравствуй и ты.

— Пустишь, што ли, на фабрику-то?

— А ступай... Назад пойдешь — обыщу. Уж такой у нас порядок.

— Ну, черт с тобой, обыскивай хоть сейчас.

Я и сам-то у себя ничего не найду...

— Да чего тебе на фабрике-то понадобилось, Морок?

— Мне? А у меня, дедушка, важнеющее дело... Ну, так я пойду.

— Ах, ты, хрен тебе в голову, што придумал! — удивлялся Слепень, когда широкая спина Морока полезла обратно в дверь.

Морок уже наполовину вылез, как загудел свисток. Он точно завяз в двери и выругался. Эк, взвыла собака на свою голову... Плюнув, Морок влез обратно в караулку. Это рассмешило даже Слепня, который улыбнулся, кажется, первый раз в жизни: этакой большой мужик, а свистка испугался.

— Што, не любишь его? — спросил Слепень после некоторой паузы, протягивая Мороку берестяную табакерку.

— Свисток-то? А я тебе вот што скажу: лежу я это утром, а как он загудит — и шабаш. Соскочу и не могу больше спать, хоть зарежь. Жилы он из меня тянет. Так бы вот, кажется, горло ему перервал...

— Самая подлая машинка, — согласился Слепень, делая ожесточенную понюшку.

Старый Слепень походил на жука: маленький, черный, сморщенный. Он и зиму и лето ходил без шапки. В караул он попал еще молодым, потому что был немного тронутый человек и ни на какую другую работу не годился. По заводу он славился тем, что умел заговаривать кровь и зимой после бани купался в проруби. Теперь рядом с громадною фигурой Морока он походил совсем на ребенка и както совсем по-ребячьи смотрел на могучие плечи Морока, на его широкое лицо, большую бороду и громадные руки. А Морок сидел и что-то думал.

— Пропащее это дело, ваша фабрика, — проговорил, наконец, Морок, сплевывая на горевший в печке огонь. Слепень постоянно день и ночь палил даровые заводские дрова. — Черту вы все-то работаете...

— Сам-то ты черт деревянный!..

— Сам-то я? — повторил как эхо Морок, посмотрел любовно на Слепня и засмеялся. — Мне плевать на вас на всех... Вот какой я сам-то! Ты вот, как цепная собака, сидишь в своей караулке, а я на полной своей воле гуляю. Ничего, сыт...

— Сыт, так и убирайся, откуда пришел.

— И уйду.

Морок нахлобучил шапку и вышел. Он осторожно спустился по деревянной лестнице вниз к доменному корпусу, у которого на скамеечке сидели летухи и формовщики.

— Робя, гли, Морок! — раздались удивленные голоса. — В приказчики пришел наниматься.

— Чему обрадели, галманы! — огрызнулся Морок и зашагал дальше.

У Морока знакомых была полна фабрика: одни его били, других он сам бил. Но он не помнил ни своего, ни чужого зла и добродушно раскланивался направо и налево. Между прочим, он посидел в кричном корпусе и поговорил ни о чем с Афонькой Туляком, дальше по пути завернул к кузнецам и заглянул в новый корпус, где пыхтела паровая машина.

— Ишь какого черта нагородили! — проворчал он и побрел к пудлинговым печам.

— Морок идет!.. Морок пришел! — кричали мальчишки-поденщики, забегая вперед.

Морок посидел с пудлинговыми и тоже поговорил ни о чем, как с кузнецами. Около

него собиралась везде целая толпа, ждавшая с нетерпением, какое колено Морок отколет. Недаром же он пришел на фабрику, — не таковский человек. Но Морок балагурил со всеми — и только.

— Пришел поглядеть, как вы около огня маетесь, — объяснял он, между прочим. — Дураки вы, вот што я вам скажу...

— Вот так отвесил... Ай да Морок!

— Конешно, дураки. Прежде-то одни мужики робили, ну, а потом баб повели на фабрику, а бабы ребятишек... Это как, по-вашему? Богачество небойсь принесете домой... Эх вы, галманы, право, галманы!

Показавшийся вдали Ястребок разогнал толпу одним своим появлением. Ястребок находился в хорошем настроении и поэтому подошел прямо к Мороку.

— А, это ты...

— Я, Пал Иваныч... Поглядеть пришел. Давно уж на фабрике не бывал.

Следовавший за надзирателем, как тень, дозорный Полуэхт Самоварник вперед искривил рожу, ожидая даровой потехи.

— Мороку сорок одно с кисточкой! — здо-

ровался Самоварник. — Как живешь-можешь, родимый мой?

— Живем, пока мыши головы не отъели, да вашими молитвами, как соломенными шестами, подпираемся...

— Мы ведь с тобой теперь суседи будем: из окна в окно заживем...

— Ври, да не подавись, мотри, — огрызнулся Морок, презрительно глядя на Самоварника.

— Верно тебе говорю, родимый мой: избу насупротив тебя в Туляцком конце купил.

Ястребок даже потрепал Морока по плечу и заметил:

— Работать бы тебе у обжимочного молота с Пимкой Соболевым...

— Угорел я немножко, Пал Иваныч, на вашей-то работе... Да и спина у меня тово... плохо гнется. У меня, как у волка, прямые ребра.

Когда Ястребок отошел, Морок еще посидел с рабочими и дождался, когда все разошлись по своим делам. Он незаметно перешел из корпуса на двор и поместился на деревянной лавочке у входа, где обыкновенно отдыхали после смены рабочие. Их и теперь си-

дело человек пять — усталые, потные, изнуренные. Лица у всех были покрыты яркими красными пятнами, что служило лучшею вывеской тяжелой огненной работы. Некоторые дремали, опустив головы и бессильно свесив руки с напружившимися жилами, другие безучастно смотрели куда-нибудь в одну точку, как пришибленные. Им было не до Морока, и он мог свободно наблюдать, что делается в той части фабричного двора, где пестрела толпа дровосушек-поденщиц. Уставщик Корнило, конечно, был там, вызывая град шуток и задорный смех. Первыми заводчицами этого веселья являлись, как всегда, отпетая Марька и солдатка Аннушка.

— Эк их розняло! — проворчал один из рабочих, сидевших рядом с Мороком. — А пуще всех Марьку угибает.

— Новенькие есть? — спросил Морок после длинной паузы.

— Всё те же. Вон Аннушка привела третьева дни сестру, так Корнило и льнет. Любопытный, пес...

— Которую сестру-то? — равнодушно спросил Морок, сплевывая.

— Феклистой звать... Совсем молоденькая девчонка. Эвон с Форточкой стоит в красном платке...

— Какая Форточка?

— А Наташка, сестра Окулка... Раньше-то она больно крепилась, ну, а теперь с машинистом... ну, я вышла Форточка.

Морок свернул из серой бумаги «цыгарку» и закурил.

Галдевшая у печей толпа поденщиц была занята своим делом. Одни носили сырые дрова в печь и складывали их там, другие разгружали из печей уже высохшие дрова. Работа кипела, и слышался только треск летевших дождем поленьев. Солдатка Аннушка работала вместе с сестрой Феклистой и Наташкой. Эта Феклиста была еще худенькая, несложившаяся девушка с бойкими глазами. Она за несколько дней работы исцарапала себе все руки и едва двигалась: ломило спину и тело. Сырые дрова были такие тяжелые, точно камни.

— Чего стала? — кричала на нее Аннушка, когда нужно было поднимать носилки с дровами.

— Поясница отнялась... — шепотом ответила Феклиста.

— У, неженка! — ругалась Аннушка. — Есть хлеб, так умеешь, а работать, так и поясница отнялась. Далась я вам одна каторжная!..

— Ну, понесем, — предлагала Наташка, привычным жестом, легко и свободно поднимая носилки. — Погоди, привыкнет и Феклиста.

Аннушка сегодня злилась на всех, точно предчувствуя ожидавшую ее неприятность. Наташка старалась ее задобрить маленькими услугами, но Аннушка не хотела ничего замечать. Подвернувшийся под руку Корнило получил от нее такой град ругательств, что юркнул в первую печь, как напрокудивший кот.

— Ужо вот старухе-то твоей скажу! — кричала ему вслед Аннушка. — Седой волос прошиб, а он за девками увязался... Свои дочери невесты.

День сегодня тянулся без конца, и Кузьмич точно забыл свой свисток. Аннушка уже несколько раз приставала к Наташке, чтобы та сбегала в паровой корпус и попросила

Кузьмича отдать свисток.

— Ступай сама, — огрызалась Наташка.

— Мне туда не дорога, — ядовито ответила Аннушка, — а тебе по пути.

Наконец, загудел и свисток. Поденщицы побросали работу и веселою гурьбой пошли к выходу. Уставшая и рассерженная Аннушка плелась в числе последних, а на лестнице, по которой поднимались к Слепню, и совсем отстала. На обязанности Слепня было делать осмотр поденщиц, и это всегда вызывало громкий хохот, визг и разные шутки по адресу караульщика. Железо воровали с фабрики, как это было всем известно, но виновных не находилось. Слепень по очереди ощупывал каждую поденщицу и отпускал. Молодые рабочие всегда поджидали на верхней площадке этой церемонии и громко хохотали над Слепнем. Теперь было, как всегда. Когда поднялась Аннушка, толпа поденщиц уже была обыскана и, разделившись на две партии, с говором расходилась на плотине, — кержанки шли в свой Кержацкий конец, а мочегане в Туляцкий и Хохлацкий. Слепень, проживший всю свою жизнь неженатым, чувствовал

себя вечерам после осмотра поденщиц очень скверно и поэтому обругал запоздавшую Аннушку.

— Проходи, чертова кукла: без тебя тошно! — ворчал он, хлопая дверью сторожки.

Аннушка так устала, что не могла даже ответить Слепню приличным образом, и молча поплелась по плотине. Было еще светло настолько, что не смешаешь собаку с человеком. Свежие осенние сумерки заставляли ее вздрагивать и прятать руки в кофту. Когда Аннушка поровнялась с «бучилом», ей попался навстречу какой-то мужик и молча схватил ее прямо за горло. Она хотела крикнуть, но только замахала руками, как упавшая спросонья курица.

— Што, небойсь не узнала... а? — шипел над нею чей-то голос. — Сейчас задушу... Дохнуть не дам!..

Это был Морок, которого Аннушка в первое мгновение не узнала. Он затащил ее к сараю у плотинных запоров и, прижав к стене, больно ударил по лицу кулаком.

— Это тебе в задаток, а потом я тебя разорву, как дохлую кошку.

У Аннушки искры посыпались из глаз, но она не смела шевельнуться и только дрожала всем телом.

— Ежели еще раз поведешь Феклисту на фабрику, — говорил Морок, — так я тебя за ноги прямо в бучило спущу...

Опять удар по лицу, и Морок исчез в сумерках, как страшное привидение. Аннушка очувствовалась только через полчаса, присела на землю и горько заплакала, — кровь у ней бежала носом, левый глаз начал пухнуть. Ее убивала мысль, как она завтра покажется на фабрику. Били ее часто и больно, как и всех других пропащих бабенок, но зачем же увечить человека?.. И с чего Морок к ней привязался? Ни с того ни с сего за Феклисту вздумал заступаться... Все били Аннушку, но били ее за ее бабью слабость, а тут начали бить за других. В груди Аннушки кипела теперь смертельная ненависть именно к этой сестре Феклисте.

Глава 39

Прошла пасха, которую туляки справляли с особенным благоговением, как евреи, готовившиеся к бегству из Египта. Все, что мож-

но продать, было продано, а остальное уложено в возы. Ждали только, когда просохнет немного дорога, чтобы двинуться в путь. Больше не было ни шуму, ни споров, и кабак Рачителихи пустовал. Оставшиеся в заводе как-то притихли и точно стыдились собственной нерешительности. Что же, если в орде устроятся, так выехать можно и потом... Это хорошее настроение нарушено было только в последнюю минуту изменой Деяна Поперешного, который «сдыгал», сказавшись больным. Тит Горбатый не поверил этому и сам пошел проведать больного. Деян лежал на печи под шубой и жаловался неестественно слабым голосом:

— Весь не могу, Тит... С глазу, должно полагать, попритчилось. И покос Никитичу продал, бабы собрались, а я вот и разнемогся.

— Ах ты, грех какой, этово-тово! — виновато бормотал Тит, сконфуженный бесстыжим враньем Деяна. — Ведь вот прикинется же боль к человеку... Ну, этово-тово, ты потом, видно, приедешь, Деян.

— Беспременно приеду, только сущую бы малость полегчало, — врал Деян из-под шу-

бы. — И то хочу баушку Акулину позвать брюхо править... Покос продал, бабы собрались, хозяйство все нарушил, — беспременно приеду.

Это вероломство Деяна огорчило старого Тита до глубины души; больше всех Деян шумел, первый продал покос, а как пришло уезжать — и сдыгал. Даже обругать его по-настоящему было нельзя, чтобы напрасно не мутить других.

— Этакая поперешная душа, этово-тово! — ругался Тит про себя.

Бабы-мочеганки ревмя-ревели еще за неделю до отъезда, а тут поднялся настоящий ад, — ревели и те, которые уезжали, и те, которые оставались. Тит поучил свою младшую сноху Агафью черемуховою палкой для острастки другим бабам. С вечера приготовленные в дорогу телеги были выкачены на улицу, а из поднятых кверху оглобель вырос целый лес. Едва ли кто спал в эту последнюю ночь. Ранним утром бабы успели сбегать на могильник, чтобы проститься с похороненными родственниками, и успели еще раз нареветься своими бабьими дешевыми слезами.

Тит Горбатый накануне сходил к о. Сергею и попросил отслужить напутственный молебен.

— Доброе дело, — согласился о. Сергей. — Дай бог счастливо устроиться на новом месте.

В восемь часов на церкви зазвонил большой колокол, и оба мочеганских конца сошлись опять на площади, где объявляли волю. Для такого торжественного случая были подняты иконы, которые из церкви выносили благочестивые старушки тулянки. Учитель Агап, дьячок Евгеньич и фельдшер Хитров пели хором. Пришел на молебен и Петр Елисеич с Нюрочкой. Все молились с торжественным усердием, и опять текли слезы умиления. О. Сергей сказал отъезжавшим свое пастырское напутственное слово и осенил крестом всю «ниву господню». Закончился молебен громкими рыданиями. Особенно плакали старухи, когда стали прощаться с добрым священником, входившим в их старушечью жизнь; он давал советы и помогал нести до конца тяжелое бремя жизни. Для всякого у о. Сергея находилось доброе, ласковое слово, и старухи молились на него.

— С богом, старушки, — повторял о. Сергей, со слезами на глазах благословляя ползавших у его ног тулянок.

— Батюшка, родной ты наш, думали мы, что ты и кости наши похоронишь, — голосили старухи. — Ох, тяжко, батюшка... Молодые-то жить едут в орду, а мы помирать. Не для себя едем.

Прослезился и Петр Елисеич, когда с ним стали прощаться мужики и бабы. Никого он не обидел напрасно, — после старого Палача при нем рабочие «свет увидели». То, что Петр Елисеич не ставил себе в заслугу, выплыло теперь наружу в такой трогательной форме. Старый Тит Горбатый даже повалился приказчику в ноги.

— Не оставь ты, Петр Елисеич, Макарку-то дурака... — просил Тит, вытирая непрошенную слезу кулаком. — Сам вижу, что дурак... Умного-то жаль, Петр Елисеич, а дурака, это-во-тово, вдвое.

Какие-то неизвестные женщины целовали теперь Нюрочку, которая тоже плакала, поддаваясь общему настроению.

Отец Сергей проводил толпу в Туляцкий

конец, дождался, когда запрягут лошадей, и в последний раз благословил двинувшийся обоз. Пришли проводить многие из Кержацкого конца, особенно бабы. Тит Горбатый выехал на смоленой новой телеге в голове всего обоза. С ним рядом сидел Макар, вызвавшийся проводить до Мурмоса. Старик сидел на возу без шапки и кланялся на все четыре стороны бежавшему за обозом народу. День был ясный и солнечный. Березы еще не успели распуститься, но первая весенняя травка уже высыпала по обогретым местам. В воздухе пахло горьким ароматом набухавших почек. По дороге в Мурмос обоз вытянулся на целую версту.

— Ты, Макар, смотри, этово-тово... — повторял Тит, оглядываясь постоянно назад. — Один остаешься... Сам большой, сам маленький. Когда Артем выйдет из солдат, так уж не ссорьтесь... Отрезанный он ломоть, а тоже своя кровь, не выкинешь из роду-племени. Не обижай... Вот и Агап тоже... Водкой он зашибает. Тоже вот Татьяна, этово-тово...

Из Туляцкого конца дорога поднималась в гору. Когда обоз поднялся, то все возы остано-

вились, чтобы в последний раз поглядеть на остававшееся в яме «жило». Здесь провожавшие простились. Поднялся опять рев и причитания. Бабы ревели до изнеможения, а глядя на них, голосили и ребятишки. Тит Горбатый надел свою шляпу и двинулся: дальние проводы — лишние слезы. За ним хвостом двинулись остальные телеги.

— Тятя, смотри-ка, — нерешительно проговорил Макар, указывая вперед.

Как Тит глянул, так и остолбенел: впереди обоза без шапки шагал Терешка-дурачок, размахивая левою рукой. У Тита екнуло даже сердце.

— Ох, плохой знак, что Терешка провожает, как покойников. Еще увидят, пожалуй, с других возов.

Но Макар соскочил с телеги, догнал бегом Терешку и остановил.

— А, Иваныч... — бормотал Терешка, глядя на него своими пустыми глазами. — Сорок восемь серебром Иванычей...

— Куда ты, Терешка? Ступай-ка домой по-добру-поздорову.

— Ступай сам домой.

Пришлось Макару задержать Терешку силой, причем сумасшедший полез драться. Возы было остановились, но Тит махнул шапкой, чтобы не зевали. Макар держал ругавшегося Терешку за руки и, пропустив возы, под руку повел его обратно в завод. Терешка упирался, плевал на Макара и все порывался убежать за обозом.

— Водку пойдем пить к Рачителихе, — уговаривал его Макар.

— Обманешь, Иваныч.

Так и пришлось Макару воротиться. Дома он заседлал лошадь и верхом уже поехал догонять ушедший вперед обоз. По дороге он нагнал ехавшего верхом старого Коваля, который гнал тоже за обозом без шапки и без седла, болтая длинными ногами.

— Куда торопишься, Дорох? — крикнул ему Макар.

— А до свата... — ответил сконфуженно Коваль. — Треба побалакать.

— Нашел время!

Коваль ничего не ответил, а только сильнее погнал лошадь. Они догнали обоз версты за три, когда он остановился у моста через

Култым. Здесь шли повертки на покосы.

— Сват, а сват! — кричал Коваль, подъезжая к возу Тита Горбатого.

— Чего тебе, сват? — отвечал Тит.

— Едва я тебя догнал, ажно упарився.

Тит молчал, глядя вперед.

— А як же мы будем с тобой, сват? — спросил Коваль после некоторой паузы. — Посватались, да и рассватались.

— Уж, видно, так, Дорох... Не судил, видно, бог, этово-тово...

Старый Коваль с удивлением посмотрел на приятеля, покрутил головой и проговорил:

— Куда же я с Федоркой денусь, коли вона просватана? Почиплялась же лихо, тая ваша орда.

Долго стоял Коваль на мосту, провожая глазами уходивший обоз. Ему было обидно, что сват Тит уехал и ни разу не обернулся назад. Вот тебе и сват!.. Но Титу было не до вероломного свата, — старик не мог отвязаться от мысли о дураке Терешке, который все дело испортил. И откуда он взялся, подумаешь: точно из земли вырос... Идет впереди обоза без шапки, как ходил перед покойниками. В

душе Тита этот пустой случай вызвал первую тень сомнения: уж ладно ли они выехали?

Часть IV

Глава 40

Осенью, когда земля уже звенела под колесами, Петр Елисеич был вызван в Мурмос для личных объяснений по поводу того проекта, который был составлен им еще зимой. Раньше он ездил в Мурмос один, а теперь взял с собой Нюрочку, потому что там жили Груздевы и она могла погостить у них. Дальше Самосадки Нюрочка не бывала, и можно представить себе ее радость, когда отец объявил ей о предстоявшей поездке. О Мурмосе у ней сложилось какое-то фантастическое представление, как о своего рода чуде: это большой-большой город, с каменными домами, громадною фабрикой, блестящими магазинами и вообще редкостями. По крайней мере так уверяли Домнушка и Катря, хотя они и не бывали там.

Перед отъездом Нюрочка не спала почти всю ночь и оделась по-дорожному ровно в шесть часов утра, когда кругом было еще тем-

но. Девочку возмущало, что отец вернулся с фабрики к семи часам, как обыкновенно, не торопясь напился чаю и только потом велел закладывать лошадей. Нюрочка все время ходила в своей беличьей шубке и ни за что не хотела раздеться. Она рассердилась на отца, который ровно на зло ей медлил. Даже стенные часы, и те точно остановились, а Нюрочка бегала смотреть на них ровно через пять минут. Нет, они, кажется, никогда не выедут и она никогда не увидит Мурмоса с его чудесами. До десяти часов прошла целая вечность, и Нюрочка уселась в экипаж совсем истомленная, с недовольным личиком. Она даже надулась и не говорила с отцом. Большая летняя повозка, в которой они в прошлом году ездили в Самосадку, весело покатилась по широкой мурмосской дороге. Дурное настроение Нюрочки прошло сейчас же, и она с любопытством смотрела по сторонам дороги, где мелькал лес и покосы. Лесу здесь было меньше, чем по дороге в Самосадку, да и тот скоро совсем кончился, когда дорога вышла на берег большого озера Черчеж.

— Папа, это море?

— Озеро Черчеж... А за ним Рябиновые горы. Вон синеют.

Осенью озеро ничего красивого не представляло. Почерневшая холодная вода била пенившеюся волной в песчаный берег с жалобным стоном, дул сильный ветер; низкие серые облака сползали непрерывною грядой с Рябиновых гор. По берегу ходили белые чайки. Когда экипаж подъезжал ближе, они поднимались с жалобным криком и уносились кверху. Вдали от берега сторожились утки целыми стаями. В осенний перелет озеро Черчеж было любимым становищем для уток и гусей, — они здесь отдыхали, кормились и летели дальше.

— Нюрочка, посмотри, вон гуси летят! — указывал Петр Елисеич на небо. — Целый косяк летит.

Нюрочка долго всматривалась, прежде чем увидела колебавшуюся линию черных точек. «Неужели гуси такие маленькие? Куда они летят? А далеко юг, папа?.. Должно быть, им очень холодно». Нюрочка сама начала зябнуть и поэтому с особенным участием отнеслась к летевшим гусям. И дорога и озеро ей не

понравились, совсем не то, что ехать в Самосадку, и она никак не могла поверить, что летом здесь очень красиво. Один противный ветер чего стоит... Дорога от озера повернула в сосновый лес, а потом опять вышла на то же озеро, которому, казалось, не было конца.

— Вон там, в самом дальнем конце озера, видишь, белеет церковь? — объяснял Петр Елисеич. — Прямо через озеро будет верст десять, а объездом больше пятнадцати.

— Зачем она стоит на воде, папа?

— Это только так кажется. Церковь далеко от воды, на горе.

Около озера ехали по крайней мере часа полтора, и Нюрочка была рада, когда оно осталось назади и дорога пошла прекрасным сосновым лесом. Высокие сосны стояли дерево к дереву, как желтые свечи. Здесь начали попадаться транспорты с железом, которое везли на продажу «в город». Возчики сворачивали с дороги и снимали шапки. Этот сосновый лес тоже надоел Нюрочке, — ему не было конца, как озеру. Она даже удивилась, когда прямо из-за леса показалась та самая белая церковь, которую они давеча видели через

озеро Бор подходил к самому заводу зеленою стеной.

Когда показались первые домики, Нюрочка превратилась вся в одно внимание. Экипаж покатился очень быстро по широкой улице прямо к церкви. За церковью открывалась большая площадь с двумя рядами деревянных лавчонок посредине. Одною стороною площадь подходила к закопченной кирпичной стене фабрики, а с другой ее окружили каменные дома с зелеными крышами. К одному из таких домов экипаж и повернул, а потом с грохотом въехал на мощеный широкий двор. На звон дорожного колокольчика выскочил Илюшка Рачитель.

— Пожалуйте, Петр Елисеич! — приглашал он, помогая вылезать из экипажа. — Самойло Евтихыч сейчас будут... На стол накрыто.

Илюшка держался совсем на городскую руку, как следует быть купеческому молодцу. Плисовые шаровары, сапоги бутылками, «спинджак», красный шарф на шее, — при всей молодцовской форме.

— Ну что, привык, Илья? — спрашивал Петр Елисеич, поднимаясь по лестнице во

второй этаж.

— Ничего, слава богу, Петр Елисеич... Ежели с умом, так везде жить можно.

Анфиса Егоровна встретила гостей в передней и горячо поцеловала Нюрочку. Она сейчас же повела гостей показывать новый дом, купленный по случаю за бесценок. У Нюрочки просто глаза разбежались от окружавшего ее великолепия. Особенно удивили ее расписанные трафаретом потолки. В зале потолок изображал все небо: по синему полю были насажены звезды из сусального золота, а в средине золотой треугольник с лучами. Раньше в этом треугольнике местным художником было нарисовано «всевидящее око», но Груздев велел его замазать, потому что неловко было заколачивать в такое око гвоздь для висячей лампы Венская мебель, ковры, занавески на окнах, драпировки на дверях, цветы — все это казалось Нюрочке чем-то волшебным, точно она перенеслась в сказочный замок.

— Отлично, отлично! — как-то равнодушно хвалил Петр Елисеич, переходя из комнаты в комнату. — А мне на Самосадке больше нравится.

— Нельзя, Петр Елисеич, — с какою-то грустью в голосе объясняла Анфиса Егоровна. — На людях живем... Не доводится быть хуже других. Я-то, пожалуй, и скучаю о Самосадке...

Груздев скоро пришел, и сейчас же все сели обедать. Нюрочка была рада, что Васи не было и она могла делать все, как сама хотела. За обедом шел деловой разговор Петр Елисеич только поморщился, когда узнал, что вместе с ним вызван на совещание и Палач. После обеда он отправился сейчас же в господский дом, до которого было рукой подать. Лука Назарыч обедал поздно, и теперь было удобнее всего его видеть.

Господский дом стоял рядом с фабрикой. Он резко выделялся из среды других построек своею величиной. Это было трехэтажное здание с колоннами, балконами и террасой. Широкий двор, отделявший его от улицы, придавал ему вид какого-то дворца. По сторонам двумя крыльями расходились хозяйственные постройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Петр Елисеич прошел пешком, так что в парадной передней не встретил никого, — швейцар Аристашка выскакивал обыкновен-

но на стук экипажа, а теперь спал в швейцарской, как зарезанный. Широкая мраморная лестница вела во второй этаж. Встретив по дороге горничную, Петр Елисеич попросил ее доложить о себе, а сам остался в громадной зале в два света, украшенной фамильными портретами Устюжаниновых. Это была настоящая картинная галерея, где работы лучших иностранных мастеров перемешались с работами русских художников, как Венецианов и Брюллов. По этим портретам антрополог мог проследить последовательное вырождение когда-то крепкой мужицкой семьи. От могучих основателей фамильных богатств шел целый ряд изнеженных потомков.

— Пожалуйте... — пригласила горничная, неслышно входя в залу. — Лука Назарыч у себя в кабинете.

Из залы нужно было пройти небольшую приемную, где обыкновенно дожидались просители, и потом уже следовал кабинет. Отворив тяжелую дубовую дверь, Петр Елисеич был неприятно удивлен: Лука Назарыч сидел в кресле у своего письменного стола, а напротив него Палач. Поздоровавшись кивком го-

ловы и не подавая руки, старик взглядом указал на стул. Такой прием расхолодил Петра Елисеича сразу, и он почуял что-то недоброе.

— Читал, проверял и нашел... — говорил Лука Назарыч, отыскивая в кипе бумаг проект Мухина. — Да, я нашел, что... куда он завалился, твой проект?

Палач сделал такое движение, точно намерен был для удовольствия Луки Назарыча вспорхнуть, но сразу успокоился, когда рукопись отыскалась. Взвесив на руке объемистую тетрадь, старик заговорил, обращаясь уже к Палачу:

— Сущая беда эти умники... Всех нас в порошок истер Петр-то Елисеич, а того не догадался, что я же буду проект-то его читать. Умен, да не догадлив... Как он нас всех тут разнес: прямо из дураков в дураки поставил.

— Вы ошибаетесь, Лука Назарыч, — горячо вступился Мухин. — Я никого не обвинял, а только указывал на желательные перемены... Если уж дело пошло на то, чтобы обвинять, то виновато было одно крепостное право.

— Постой, голубчик, твоя речь еще впереди... Крепостного права не стало, а люди-то

ведь все те же.

Петр Елисеич напряг последние силы, чтобы сдержаться и не выйти из себя. Он знал, что теперь все кончено. Оставалось только одно: умереть с честью. После резкого вступления Лука Назарыч тоже заметно смирился.

— Мы люди необразованные, — говорил он упавшим голосом, — учились на медные гроши... С нас и взыскивать нечего. Пусть другие лучше сделают... Это ведь на бумаге легко разводы разводить. Да...

— Я считаю долгом объясниться с вами откровенно, Лука Назарыч, — ответил Мухин. — До сих пор мне приходилось молчать или исполнять чужие приказания... Я не маленький и хорошо понимаю, что говорю с вами в последний раз, поэтому и скажу все, что лежит на душе.

Лука Назарыч молчал и только похлопывал одною рукой по ручке кресла. Изредка он взглядывал на Палача и плотно сжимал губы. Охваченный волнением, Петр Елисеич ходил около стола и порывисто договаривал то, чего не успел высказать в своей докладной записке. Да, заводское дело должно быстро пасть,

если не принять быстрых и решительных мер. Даровой крепостной труд необходимо заменить дешевым машинным — это прежде всего. Затем сейчас же необходимо вводить новые производства и усовершенствования, пользуясь готовым уже опытом европейских заводов. Наконец, исходная точка всего — солидарность интересов заводовладельцев и рабочего населения. Если будет хорошо, то хорошо обеим сторонам, как и наоборот. Живая рабочая сила, подготовленная крепостным правом, сама по себе составляет для заводов богатство, которым остается только воспользоваться. Привыкшему к заводской работе населению деваться некуда, и если бы наделить его землей, то это послужило бы верным обеспечением.

— Так, так... — говорил Лука Назарыч, покачивая головой. — Вот и твой брат Мосей то же самое говорит. Может, вы с ним действуете заодно... А мочеган кто расстраивал на Ключевском?

— Вероятно, тоже я? — ответил вопросом Мухин. — А что касается брата, Лука Назарыч, то по меньшей мере я считаю странным воз-

лагать ответственность за его поступки на меня... Каждый отвечает только за себя.

— Хорошо, хорошо... Мы это еще увидим. А что за себя каждый — это ты верно сказал. Вот у Никона Авдеича (старик ткнул на Палача) ни одной души не ушло, а ты ползавода распустил.

— Да ведь нельзя и сравнивать Пеньковку с мочеганскими концами! — взмолился Мухин. — Пеньковка — это разный заводский сброд, который даже своего угла не имеет, а туляки — исконные пахари... Если я чего боюсь, то разве того, что молодежь не выдержит тяжелой крестьянской работы и переселенцы вернутся назад. Другими словами, получится целый разряд вконец разоренных рабочих.

— Ничего, это нам на руку, — иронизировал Лука Назарыч. — С богатыми не умели справиться, так, может, управимся как-нибудь с разоренными... Кто их гнал с завода?

— Это стихийная сила, Лука Назарыч...

— По-нашему: дурь! Да...

Глава 41

После обеда Груздев прилег отдохнуть, а Анфиса Егоровна ушла в кухню, чтобы сделать необходимые приготовления к ужину. Нюрочка осталась в чужом доме совершенно одна и решительно не знала, что ей делать. Она походила по комнатам, посмотрела во все окна и кончила тем, что надела свою шубку и вышла на двор. Ворота были отворены, и Нюрочка вышла на улицу. Рынок, господский дом, громадная фабрика, обступившие завод со всех сторон лесистые горы — все ее занимало.

— Берегись, замну!.. — крикнул над ее головой знакомый голос.

Нюрочка даже вскрикнула со страха. Это был Вася, подъехавший верхом на гнедом иноходце. Он держался в седле настоящим молодцом, надвинув черную шапочку из мерлушки-каракулки на ухо. Синий бешмет перехвачен был кавказским серебряным поясом.

— Что, испугалась? — весело спрашивал Вася, блестя глазами. — Не хочешь ли прокатиться верхом?

Не дождавшись ответа, он круто повернул лошадь на одних задних ногах и помчался по

площади. Нюрочка еще в первый раз в жизни позавидовала: ей тоже хотелось проехать верхом, как Вася. Вернувшись, Вася на полном ходу соскочил с лошади, перевернулся кубарем и проговорил деловым тоном:

— А я у вас на Ключевском был... к вам заходил, да не застал дома. Отцу нужно было нарочного посылать, ну, он и послал меня.

— Ты один ездил?

— Конечно, один... Няньку, что ли, мне нужно? Эх ты, плакса!..

Нюрочка разговаривала с Васей и чувствовала, что нисколько не боится его. Да и он в этот год вырос такой большой и не смотрел уже тем мальчишкой, который лазал с ней по крышам.

— Я тебе своих голубей покажу, Нюра, — прежним серьезным тоном заявил Вася, но, подумавши, прибавил: — Нет, сначала сбегаем вон туда, где контора... Там такая штука стоит.

Дети, взявшись за руки, весело побежали к лавкам, а от них спустились к фабрике, перешли зеленый деревянный мост и бегом понеслись в гору к заводской конторе. Это было

громадное каменное здание, с такими же колоннами, как и господский дом. На площадь оно выступало громадною чугунною лестницей, — широкие ступени тянулись во всю ширину здания.

— Вот смотри, какие у нас пильщики! — крикнул Вася, подбегая к решетке стоявшего посреди площади памятника.

Это был великолепный памятник, воздвигнутый благодарными наследниками «фундатору» заводов, старику Устюжанинову. Центр занимала высокая бронзовая фигура в костюме восемнадцатого века. Ее окружали аллегорические бронзовые женщины, изображавшие промышленность, искусство, торговлю и науки. По углам сидели бронзовые музы. Памятник был сделан в Италии еще в прошлом столетии.

— Это памятник, а не пильщики, — заметила Нюрочка, с любопытством оглядывая необыкновенное сооружение.

— Говорят тебе: пильщики... Один хохол приехал из Ключевского ночью, посмотрел на памятник, а потом и спрашивает: «Зачем у вас по ночам пильщики робят?»

— Неправда!.. Это ты сам придумал...

Вместо ответа Вася схватил камень и запустил им в медного заводовладельца. Вот тебе, кикимора!.. Нюрочке тоже хотелось бросить камнем, но она не посмела. Ей опять сделалось весело, и с горы она побежала за Васей, расставив широко руки, как делал он. На мосту Вася набрал шлаку и заставил ее бросать им в плававших у берега уток. Этот пестрый стекловидный шлак так понравился Нюрочке, что она набила им полные карманы своей шубки, причем порезала руку.

— Мне отец обещал купить ружье, — утешал ее Вася. — А кровь — это пустяки.

Петр Елисеич вернулся из господского дома темнее ночи. Он прошел прямо в кабинет Груздева и разбудил его.

— А, это ты... — бормотал Груздев спросонья. — Ну, что?..

— Ничего...

— Как ничего?

— Да так... От службы отказали.

— Не может быть!.. Постой, расскажи, как было дело.

Шагая по комнате, Петр Елисеич передал

подробно свой разговор с Лукой Назарычем. Широкое бородатое лицо Груздева выражало напряженное внимание. Он сидел на диване в драповом халате и болтал туфлями.

— Вообще все кончено, — заключил свой рассказ Петр Елисеич. — Тридцать лет работал я на заводах, и вот награда...

— Да ведь прямо он не отказывал тебе?

— Чего же еще нужно? Я не хочу навязываться с своими услугами. Да, я в этом случае горд... У Луки Назарыча давно намечен и преемник мне: Палач... Вот что обидно, Самойло Евтихыч! Назначь кого угодно другого, я ушел бы с спокойным сердцем... А то Палач!

— Ну, это все равно, по-моему: кто ни поп, тот и батька... Эх, говорил я тебе тогда... Помнишь? Все это твой проект.

Петр Елисеич весь вспыхнул.

— Нет, я не раскаиваюсь в этом, — ответил он дрожащим голосом. — Каждый порядочный человек должен был сделать то же самое.

— Сила солому ломит, Петр Елисеич... Ну, да что сделано, то сделано, и покойников с кладбища назад не носят. Как же ты теперь

жить-то будешь, голубчик?

— Я? А, право, и сам не знаю... Есть маленькие деньжонки, сколочены про черный день, так их буду проедать, а потом найду где-нибудь место на других заводах. Земля не клином сошлась...

— Невозможно, Петр Елисеич! — спорил Груздев. — Не такое это дело, чтобы новые места нам с тобой разыскивать... Мохом мы с тобой обросли, вот главная причина. Знаешь, как собака: ее палкой, а она все к хозяину лезет...

— Ну, уж извини: ты меня плохо знаешь!

— Да ты говоришь только о себе сейчас, а как подумаешь, так около себя и других найдешь, о которых тоже нужно подумать. Это уж всегда так... Обидно, несправедливо, а других-то и пожалеешь. Фабрику свою пожалеешь!..

— Что делать, а я все-таки не могу иметь дела с мерзавцами.

— Да ведь и Лука-то Назарыч сегодня здесь и велик, а завтра и нет его. Все может быть...

Вечер прошел в самом грустном настроении. Петр Елисеич все молчал, и хозяева вы-

бивались из сил, чтобы его утешить и развлечь. Особенно хлопотала Анфиса Егоровна. Она точно чувствовала себя в чем-то виноватой.

— Ах, какое дело!.. — повторял время от времени сам Груздев. — Разве так можно с людьми поступать?.. Вот у меня сколько на службе приказчиков... Ежели человек смышленый и не вороватый, так я им дорожу. Берегу его, а не то чтобы, например, в шею.

— Ну, уж ты расхвастался с своими приказчиками, — заметила Анфиса Егоровна. — Набрал с ветру разных голышей... Не стало своих-то, так мочеган нахватал...

— А что же, околевать ему, мальчонке, по-твоему?.. Что кержак, что мочеганин — для меня все единственно... Вон Илюшка Рачитель, да он кого угодно за пояс заткнет! Обстоятельный человек будет...

— Оберут они тебя, твои-то приказчики, — спорила Анфиса Егоровна. — Больно уж делами-то раскидался... За всем не углядишь.

— Только бы я кого не обобрал... — смеялся Груздев. — И так надо сказать: бог дал, бог и взял. Роптать не следует.

За ужином, вместе с Илюшкой, прислуживал и Тараско, брат Окулка. Мальчик сильно похудел, а на лице у него остались белые пятна от залеченных пузырей. Он держался очень робко и, видимо, стеснялся больше всего своими новыми сапогами.

— Брат Окулка-то, — объяснил Груздев гостю, когда Тараско ушел в кухню за жареным. — А мне это все равно: чем мальчонко виноват? Потом его паром обварило на фабрике... Дома холод да голод. Ну, как его не взять?.. Щенят жалеют, а живого человека как не пожалеть?

— Доброе дело, — согласился Петр Елисеич, припоминая историю Тараска. — По-настоящему, мы должны были его пристроить, да только у нас такие порядки, что ничего не разберешь... Беда будет всем этим сиротам, престарелым и увечным.

Анфиса Егоровна примирилась с расторопным и смышленым Илюшкой, а в Тараске она не могла забыть родного брата знаменитого разбойника Окулка. Это было инстинктивное чувство, которого она не могла подавить в себе, несмотря на всю свою доброту. И мальчик

был кроткий, а между тем Анфиса Егоровна чувствовала к нему какую-то кровную антипатию и даже вздрагивала, когда он неожиданно входил в комнату.

Когда ужин кончился, Анфиса Егоровна неожиданно проговорила:

— А что вы думаете, Петр Елисеич, относительно Самосадки?

— То есть как «что»? — удивился Мухин.

— Да так... У нас там теперь пустует весь дом. Обзаведенье всякое есть, только живи да радуйся... Вот бы вам туда и переехать.

— В самом деле, отличная бы штука была! — согласился Груздев с женой. — Дом отличный... Живи себе.

— Вместо караульщика? — ответил Мухин с печальною улыбкой. — Спасибо... Нужно будет подумать.

— И думать тут не о чем, — настаивал Груздев, с радостью ухватившись за счастливую мысль. — Не чужие, слава богу... Сочтемся...

— А как старушка-то Василиса Корниловна будет рада! — продолжала свою мысль Анфиса Егоровна. — На старости лет вместе бы со

всеми детьми пожила. Тоже черпнула она горя в свою долю, а теперь порадуется.

— Нужно серьезно подумать, Анфиса Егоровна, — говорил Мухин. — А сегодня я в таком настроении, что как-то ничего не понимаю.

Присутствовавшие за ужином дети совсем не слушали, что говорили большие. За день они так набегались, что засыпали сидя. У Нюрочки сладко слипались глаза, и Вася должен был ее щипать, чтобы она совсем не уснула. Груздев с гордостью смотрел на своего молодца-наследника, а Анфиса Егоровна потихоньку вздыхала, вглядываясь в Нюрочку. «Славная девочка, скромная да очестливая», — думала она матерински. Спать она увела Нюрочку в свою комнату.

В доме Груздева ложились и вставали рано, как он привык жить у себя на Самосадке. Гости задержали дольше обыкновенного. Петру Елисеичу был отведен кабинет хозяина, но он почти не ложился спать, еще раз переживая всю свою жизнь. Вот налетело горе, и не с кем поделиться им... Нет ласковой женской руки, которая делает незаметным бремя жиз-

ни. Участие Груздевых и их семейная жизнь еще сильнее возбуждали в нем зарытое в землю горе. Чужое семейное счастье делало его собственное одиночество еще печальнее... Но он был не один, и это еще сильнее беспокоило его. Он теперь чувствовал то, что было недосказано тою же Анфисой Егоровной.

Петр Елисеич ложился на диван и не мог заснуть. Он как-то всегда не любил Мурмос, и вот беда налетела на него именно здесь. Но что значит он, прогнанный со службы управитель, когда дело идет, быть может, о тысячах людей? Думать о других всегда лучшее утешение в своем собственном горе, и Петр Елисеич давно испытал это всеисцеляющее средство. В вентилятор доносился к нему шум работавшей фабрики. Как он любил это заводское дело, которое должен оставить неизвестно для чего! Между тем он еще в силах и мог быть полезным. Мысли в его голове путались, а фантазия вызывала целый ряд картин из доброго старого времени. Господи, сколько было совершено в том же Мурмосе ненужных и бессмысленных жестокостей сначала фундатором заводов, а потом своими крепостны-

ми управляющими! И для чего все это делалось?.. А что даст будущее?.. Неужели будут только повторяться старые ошибки в новой форме?

Глава 42

Возвращаясь на другой день домой, Петр Елисеич сидел в экипаже молча: невесело было у него на душе. Нюрочка, напротив, чувствовала себя прекрасно и даже мурлыкала, как котенок, какую-то детскую песенку. Раз она без всякой видимой причины расхохоталась.

— Что с тобой, крошка? — невольно улыбнулся Петр Елисеич.

— Ах, папа... какой этот Вася смешной!.. Пильщики...

Задыхаясь от нового прилива смеха, Нюрочка рассказала анекдот, как хохол принял памятник Устюжанинову за пильщиков. Петр Елисеич тоже смеялся, поддаваясь этому наивному детскому веселью. Потом Нюрочка вдруг притихла и сделалась грустной.

— Ну, что ты молчишь, девочка? — спрашивал Петр Елисеич.

— Так.

— Это не ответ... Тебе весело было в Мурмосе?

— Очень.

— О чем же ты сейчас так задумалась?

— Так... Я думаю вот о чем, папа: если бы я была мальчиком, то...

— То не была бы девочкой, да?

— Нет, не так... Мальчик лучше девочки. Вон и Домнушка хоть и бранит Васю, а потом говорит: «Какой он молодец». Про меня никто этого не скажет, потому что я не умею ездить верхом, а Вася вчера один ездил.

— Ах ты, моя маленькая женщина! — утешал ее Петр Елисеич, прижимая белокурую головку к своему плечу. — Во-первых, нельзя всем быть мальчиками, а во-вторых... во-вторых, я тебе куплю тоже верховую лошадь.

— Живую лошадь?

— Настоящую лошадь и с седлом... Сам буду с тобой ездить.

— И серебряный пояс, как у Васи?

— Можно и пояс.

Это обещание совершенно успокоило Нюрочку, хотя в глубине ее детской души все-таки осталось какое-то неудовлетворенное,

нехорошее чувство. В девочке с мучительною болью бессознательно просыпалась женщина. Вращаясь постоянно в обществе больших, Нюрочка развилась быстрее своих лет. Маленькое детское тело не поспевало за быстро работавшею детскою головкой, и в этом разладе заключался источник ее задумчивости и первых женских капризов, как было и сейчас. Петр Елисеич только тяжело вздохнул, чувствуя свою полную беспомощность: девочка вступала в тот формирующий, критический возраст, когда нужна руководящая, любящая женская рука.

Дома Петра Елисеича ждала новая неприятность, о которой он и не думал. Не успел он войти к себе в кабинет, как ворвалась к нему Домнушка, бледная, заплаканная, испуганная. Она едва держалась на ногах и в первое мгновение не могла выговорить ни одною слова, а только безнадежно махала руками.

— Что с тобой, Домнушка? — спросил Петр Елисеич. — Что случилось?

— Ох, смертынька моя пришла, барин! — запричитала Домнушка, комом падая в ноги барину. — Пришел он, погубитель-то мой...

Батюшки мои светы, головушка с плеч!..

— Какой погубитель? Говори, пожалуйста, толком.

— Да солдат-то мой... Артем... В куфне сейчас сидел. Я-то уж мертвым его считала, а он и выворотился из службы... Пусть зарежет лучше, а я с ним не пойду!

— Что же я могу сделать, Домнушка? — повторял Петр Елисеич, вытирая лицо платком. — Он муж, и ты должна...

— Поговорите вы с ним, барин! — голосила Домнушка, валяясь в ногах и хватая доброго барина за ноги. — И жалованье ему все буду отдавать, только пусть не тревожит он меня.

Нюрочка слушала причитанье Домнушки и так напугалась, что у ней побелели губы. Бежавшая куда-то опрометью Катря объявила на ходу, что пришел «Домнушкин солдат».

— О чем же Домнушка так плачет? — недоумевала Нюрочка.

— Ах, ничего вы не понимаете, барышня! — грубо ответила Катря, — она в последнее время часто так отвечала. — Ваше господское дело, а наше — мужицкое.

Любопытство Нюрочки было страшно воз-

буждено, и она, преодолевая страх, спустилась на половину лестницы в кухню. Страшный «Домнушкин солдат» действительно сидел на лавке у самой двери и, завидев ее, приподнялся и поклонился. Он не показался ей таким страшным, а скорее жалким: лицо худое, загорелое, рубаха грязная, шинель какая-то рыжая. Решительно ничего страшного в нем не было. Нюрочка постояла на лестнице и вернулась. Навстречу ей из кабинета показался Петр Елисеич: он шел в кухню объясниться с солдатом и посмотрел на Нюрочку очень сурово, так что она устыдилась своего любопытства и убежала к себе в комнату.

Спустившись в кухню, Петр Елисеич поздоровался с солдатом, который вытянулся перед ним в струнку.

— Садись, любезный...

— Можем и постоять, вашескородие.

— Что же, ты хочешь взять у меня кухарку?

— Точно так-с.

— Но ведь она живет на месте, зачем же ее отрывать от работы?.. Она жалованье получает...

— Много благодарны, Петр Елисеич, за вашу деликатность, а только Домна все-таки пусть собирается... Закон для всех один.

— Какой закон?

— А касаемо, то есть, мужних жен... Конечно, вашескородие, она по своей бабьей глупости только напрасно вас беспокоила, а потом привыкнет. Один закон, Петр Елисеич, ежели, например, баба... Пусть она собирается.

Сколько Петр Елисеич ни уговаривал упрямого солдата, тот по-горбатовски стоял на своем, точно на пень наехал, как выражался Груздев. Он не горячился и даже не спорил, а вел свою линию с мягкою настойчивостью.

— Мое дело, конечно, сторона, любезный, — проговорил Петр Елисеич в заключение, чувствуя, что солдат подозревает его в каких-то личных расчетах. — Но я сказал тебе, как лучше сделать по-моему... Она отвыкла от вашей жизни.

— Пустое это дело, Петр Елисеич! — с загадочною улыбкой ответил солдат. — И разговору-то не стоит... Закон один: жена завсегда подвержена мужу вполне... Какой тут разговор?.. Я ведь не тащу за ворот сейчас... Тоже

имею понятие, что вам без куфарки невозможно. А только этого добра достаточно, куфарок: подыщете себе другую, а я Домну поворочу уж к себе.

Домнушка так и не показалась мужу. Солдат посидел еще в кухне, поговорил с Катрей и Антипом, а потом побрел домой. Нюрочка с нетерпением дожидалась этого момента и побежала сейчас же к Домнушке, которая спряталась в передней за вешалку.

— Солдат ушел, Домнушка.

Это известие нисколько не обрадовало Домнушку, и она опять запричитала:

— Придет он опять, Нюрочка... Ох, головушка моя спобедная!

Это происшествие неприятно взволновало Петра Елисеича, и он сделал выговор Домнушке, зачем она подняла рев на целый дом. Но в следующую минуту он раскаялся в этой невольной жестокости и еще раз почувствовал себя тяжело и неприятно, как человек, поступивший несправедливо. Поведение Катри тоже его беспокоило. Ему показалось, что она начинает третировать Нюрочку, чего не было раньше. Выждав минуту, когда Нюрочки не

было в комнате, он сделал Катре замечание.

— Так нельзя, Катря, — закончил он с невольною ласковостью в голосе.

— А мне усё равно... — грубо ответила Катря, не глядя на него. — Раньше усем угодила, а теперь с глаз гоните...

— Никто тебя не гонит, с чего ты взяла?

— Несчастная я, вот что!..

Для полноты картины недоставало только капризов Катри. Петр Елисеич ушел к себе в кабинет и громко хлопнул дверью, а Катря убежала в кухню к Домнушке и принялась голосить над ней, как над мертвой.

Петр Елисеич долго шагал по кабинету, стараясь приучить себя к мысли, что он гость вот в этих стенах, где прожил лет пятнадцать. Да, нужно убираться, а куда?.. Впрочем, в резерве оставалась Самосадка с груздевским домом. Чтобы развлечься, Петр Елисеич сходил на фабрику и там нашел какие-то непорядки. Между прочим, досталось Никитичу, который никогда не слыхал от приказчика «худого слова».

— Бог с тобой, Петр Елисеич, — пристыженно говорил Никитич, держа шляпу в ру-

ках. — Напрасно ты меня обидел.

— Ты со мной разговаривать?.. — неожиданно накинулся на него Петр Елисеич. — Я тебе покажу… я… я…

Опомнившись вовремя, Петр Елисеич только махнул рукой и отправился прямо в сарайную к старому другу Сидору Карлычу. Тот сидел за самоваром и не выразил ни удивления, ни радости.

— Ну что, как поживаешь? — спрашивал Петр Елисеич. — Как здоровье? Хорошо?

— Пожалуй.

Петр Елисеич зашагал по комнате, перебирая в уме ряд сделанных сегодня несправедливостей. Да, очень хорош… Ко всем придирался, как сумасшедший, точно кто-нибудь виноват в его личных неудачах. Пересилив себя, Петр Елисеич старался принять свой обыкновенный добродушный вид.

— Вот что, Сидор Карпыч… — заговорил он после некоторой паузы. — Мне отказали от места… Поедешь со мной жить на Самосадку?

— Пожалуй.

Петр Елисеич с каким-то отчаянием посмотрел на застывшее лицо своего единствен-

ного друга и замолчал. До сих пор он считал его несчастным, а сейчас невольно завидовал этому безумному спокойствию. Сам он так устал и измучился.

Вечером, когда Нюрочка пришла прощаться, Петр Елисеич обнял ее и привлек к себе.

— Нюрочка, нужно собираться: мы переедем жить в Самосадку, — проговорил он, стараясь по лицу девочки угадать произведенное его словами впечатление. — Это не скоро еще будет, но необходимо все приготовить.

Нюрочка осталась совершенно равнодушна к этому известию, что удивило Петра Елисеича.

— Ты слышала, о чем мы говорили вчера за ужином? — спросил он.

— Да... Мы будем жить у Самойла Евтихыча, — отчетливо ответила Нюрочка.

— Не у Самойла Евтихыча, а только в его доме... Может быть, тебе не хочется переезжать в Самосадку?

— Нет, я хочу... Там бабушка Василиса... лес...

У Нюрочки что-то было на уме, что ее занимало больше, чем предстоявший переезд в

Самосадку. На прощанье она не выдержала и проговорила:

— Папа, солдат будет очень бить Домнушку?

Сразу Петр Елисеич не нашелся, что ей ответить.

— Это не наше дело... — заговорил он после неприятной паузы. — Да и тебе пора спать. Ты вот бегаешь постоянно в кухню и слушаешь все, что там говорят. Знаешь, что я этого не люблю. В кухне болтают разные глупости, а ты их повторяешь.

Выдастся же этакий денек!.. Петр Елисеич никогда не сердился на Нюрочку, а тут был даже рад, когда она ушла в свою комнату.

Можно себе представить удивление Никитича, когда после двенадцати часов ночи он увидал проходившего мимо его корпуса Петра Елисеича. Он даже протер себе глаза: уж не блазнит ли, грешным делом? Нет, он, Петр Елисеич... Утром рано он приходил на фабрику каждый день, а ночью не любил ходить, кроме редких случаев, как пожар или другое какое-нибудь несчастие. Петр Елисеич обошел все корпуса, осмотрел все работы и за-

вернул под домну к Никитичу.

— Ну что, Никитич, обидел я тебя давеча? — заговорил он ласково.

— Што ты, Петр Елисеич?.. Не всякое лыко в строку, родимый мой. Взъелся ты на меня даве, это точно, а только я-то и ухом не веду... Много нас, хошь кого вышибут из терпения. Вот хозяйка у меня посерживается малым делом: утром половик выкинула... Нездоровится ей.

Глава 43

После отъезда переселенцев в горбатовском дворе стоял настоящий кромешный ад. Макар все время пировал, бил жену, разгонял ребятишек по соседям и вообще держал себя зверь-зверем, благо остался в дому один и никого не боялся.

— Макарушка, да ты бога-то побойся, — усовещивали его соседи. — Ты бога-то попомни, Макарушка... Он найдет, бог-от!

— Мой дом, моя жена... кто мне смеет указывать? — орал Макар, накидываясь на непрошеных советников. — Расшибу в крохи!..

Такие благочестивые речи соседей произ-

водили немедленное действие: из горбатовского двора шли отчаянные вопли избиваемой насмерть Татьяны. Расстервенившийся Макар хотел показать всем, что он может «учить жену», как хочет. Это священное право мужа обезоруживало всех, и только бабы-соседки бегали посмотреть, как Макар насмерть увечит жену. Чаще всего он привязывал ее к столбу, как лошадь, и бил кнутом, пока не уставал сам. Сначала Татьяна ревела благим матом, а потом затихала, и только слышно было, как свищет кнут по обессилевшему телу. Одним словом, Макар изводил постылую жену по всем правилам искусства, и никто не решался вмешаться в его семейную жизнь. Сама Татьяна никуда не показывалась и бродила по дому, как тень. И без того некрасивая, она теперь превратилась в скелет, обтянутый кожей. К мужу-зверю она относилась с паническим ужасом и только тряслась, когда он входил в избу.

— Совсем мужик решился ума, — толковали соседки по своим заугольям. — А все его та, змея-то, Аграфена, испортила... Поди, напоила его каким-нибудь приворотным зельем, вот

он и озверел. Кержанки на это дошлые, анафемы... Извела мужика, а сама улепетнула в скиты грех хоронить. Разорвать бы ее на мелкие части...

У самой Татьяны ниоткуда и никакой «заступы» не было, и она с тупою покорностью ждала неизбежного конца, то есть когда Макар уходит ее насмерть. Не один раз он вытаскивал ее из избы за волосы, как мертвую, но, полежав на морозе, она опять отходила. Татьяне было так тяжело, что она сама молила бога о своей смерти: она всем мешала, и, когда ее не будет, Макар женится на другой и заживет, как следует хорошему мужику. Вот только жаль ребятишек, и мысль о них каждый раз варом обливала отупевшее материнское сердце: как-то они будут жить у мачехи?.. Сама Татьяна выросла в сиротстве и хорошо знала, каково детям без матери. Она любила думать о себе, как о мертвой: лежит она, раба божия Татьяна, в сосновом гробу, скрестив на груди отработавшие руки, тихо и Мирно лежит, и один бог видит ее материнскую душу. «Раба божия Татьяна, покайся и дай ответ», — слышится ей голос. Ах, как

страшно, но ведь не одна она будет давать этот ответ богу, а и те, которые прожили счастливо до смерти, и которые грешили до гробовой доски, и которые просто ни свету, ни радости не видели, а принимали одну муку-мученическую... Нет, хорошо в могиле: никто не тронет.

Макар думал свое: только бы извести Татьяну, а там бы уж у него руки развязаны. Отыщет он Аграфену на дне морском, и будет она хозяйкой у него в доме. Тупая ненависть охватывала Макара, когда он видел жену, и не раз у него мелькала в голове мысль покончить с ней разом, хотя от этого его удерживал страх наказания. Об Аграфене он знал, что она в скитах, и все порывался туда, но не пускала служба. Брательники Гущины в свою очередь добирались до него, а раз совсем поймали было в кабаке, да спасибо подвернулся Морок и выручил. Макар теперь не боялся никого и пошел бы прямо на нож.

Появление «Домнушкина солдата» повернуло все в горбатовском дворе вверх дном. Братья встретились очень невесело, как соперники на отцовское добро. До открытой

вражды дело не доходило, но и хорошего ничего не было.

— Не рассоримся, Макар, ежели, например, с умом... — объяснял «Домнушкин солдат» с обычною своею таинственностью. — Места двоим хватит достаточно: ты в передней избе живи, я в задней. Родитель-то у нас запасливый старичок...

— Да ведь я ему полный выход заплатил! — спорил Макар. — Это как, по-твоему? Полтораста цалковых заплочено...

— А где моя часть, Макар?

— На то была родительская воля, Артем...

— А за кого я в службе-то отдувался, этого тебе родитель-то не обсказывал? Весьма даже напрасно... Теперь что же, по-твоему-то, я по миру должен идти, по заугольям шататься? Нет, я к этому не подвержен... Ежели што, так пусть мир нас рассудит, а покедова я и так с женой поживу.

— Я тебя и не гоню, а только, как, значит, родительская воля.

До открытого раздора дело все-таки не дошло благодаря увертливости и разным наговорам Артема. Он точно заворожил брата. Так

прошло с неделю, а потом солдат привел вечерком и жену. Домнушка явилась ни жива ни мертва: лица на ней не было. Дорогой Артем маленько ее поучил для острастки, а потом велел истопить баню и еще раз поучил. На этот раз от науки у Домнушки искры из глаз посыпались, но она укрепилась и не голосила, как другие «ученые бабы». Видимо, это понравилось Артему, и, сорвав сердце, он успокоился: не он первый, не он последний. Другим обстоятельством, подкупившим его, был сундук Домнушки, доверху набитый разным бабьим добром. Солдат внимательно перебрал все ее сарафаны, платки, верхнюю одежду и строго наказал беречь это добро. Домнушка сама отдала ему все деньги, какие у ней были припрятаны про черный день. Это уж окончательно понравилось солдату, и он несколько раз с особенным вниманием пересчитал все гроши, которых оказалось ни мало, ни много, а целых тринадцать рублей двадцать восемь копеек.

— Што хорошо, то хорошо, — заметил Артем, пряча деньги в особый сундучок, который привез с собой из службы. — Денежка

первое дело.

Эта жадность мужа несколько ободрила Домнушку: на деньги позарился, так, значит, можно его помаленьку и к рукам прибрать. Но это было мимолетное чувство, которое заслонялось сейчас же другим, именно тем инстинктивным страхом, какой испытывают только животные.

Домнушка сразу похудела, сделалась молчаливой и ходила, как в воду опущенная. Да и делать-то ей было нечего: самой с мужем много ли нужно? Ни настоящего хозяйства, ни скотины, ни заботы, как есть ничего. Отвыкла Домнушка от мужицкой жизни и по целым часам сидела в своей избушке неподвижно, как пришибленная. Сидит Домнушка и все думает, думает, думает... Тошно ей сделается, горько, а слез нет. И солдату тошно на нее глядеть, но он крепился, потому что бывалый и привычный ко всему человек. Из разговоров и поведения мужа Домнушка убедилась, что он знает решительно все как про нее, так и про брата Макара, только молчит до поры до времени. Что-то такое свое держал на уме этот солдат, и Домнушка еще сильнее

начинала его бояться, — чем он ласковее с ней, тем ей страшнее.

«Зарежет он меня когда-нибудь, — думала она каждый вечер, укладываясь спать под одну шубу с мужем. — Беспременно зарежет...»

Всего больше удивило Домнушку, как муж подобрался к брату Макару. Ссориться открыто он, видимо, не желал, а показать свою силу все-таки надо. Когда Макар бывал дома, солдат шел в его избу и стороной заводил какой-нибудь общий хозяйственный разговор. После этого маленького вступления он уже прямо обращался к снохе Татьяне:

— Чтой-то, Татьяна Ивановна, вы так себя на работе убиваете?.. Ведь краше в гроб кладут. Да... А работы не переделаешь... Да.

Сидит и наговаривает, а сам трубочку свою носогрейку посасывает, как следует быть настоящему солдату. Сначала такое внимание до смерти напугало забитую сноху, не слыхавшую в горбатовской семье ни одного ласкового слова, а солдат навеличивает ее еще по отчеству. И какой же дошлый этот Артем, нарочно при Макаре свое уважение Татьяне показывает.

— Конешно, родителей укорять не приходится, — тянет солдат, не обращаясь собственно ни к кому. — Бог за это накажет... А только на моих памятях это было, Татьяна Ивановна, как вы весь наш дом горбом воротили. За то вас и в дом к нам взяли из бедной семьи, как лошадь двужильная бывает. Да-с... Что же, бог труды любит, даже это и по нашей солдатской части, а потрудится человек — его и поберечь надо. Скотину, и ту жалеют... Так я говорю, Макар?

Макар не знал, куда ему деваться от этих солдатских разговоров, и только моргал заплывшими от пьянства глазами. Главное, очень уж складно умел говорить Артем... Совестно стало Макару, что он еще недавно в гроб заколачивал безответную жену, а солдат все свое: и худая-то она, Татьяна Ивановна, и одевается не по достатку, и тяжело-то ей весь дом воротить. Сама Татьяна чувствовала то же, что испытывает окоченевший на холоде человек, когда попадает прямо с мороза в теплую комнату. В горбатовском дому точно стало вдруг светлее, и Татьяна в первый раз вздохнула свободно. Душегубец Макар теперь

не смел тронуть жены пальцем. Нашелся же такой человек, который заступился и за нее, Татьяну, и как все это ловко у солдата вышло: ни шуму, ни драки, как в других семьях, а тихонько да легонько. Домнушка, не замечавшая раньше забитой снохи, точно в первый раз увидела ее и даже удивилась, что вот эта самая Татьяна Ивановна точно такой же человек, как и все другие.

— Ты, Домна, помогай Татьяне-то Ивановне, — наговаривал ей солдат тоже при Макаре. — Ты вот и в чужих людях жила, а свой женский вид не потеряла. Ну, там по хозяйству подсобляй, за ребятишками пригляди и всякое прочее: рука руку моет... Тебе-то в охотку будет поработать, а Татьяна Ивановна, глядишь, и переведет дух. Ты уж старайся, потому как в нашем дому работы Татьяны Ивановны и не усчитаешь... Так ведь я говорю, Макар?

Домнушке очень понравилось, как умненько и ловко муж донимает Макара, и ей даже сделалось совестно, что сама она никогда пальца не разогнула для Татьяны. По праздникам Артем позволял ей сходить в гос-

подский дом и к Рачителихе. Здесь, конечно, Домнушка успевала рассказать все, что с ней происходило за неделю, а Рачителиха только покачивала головой.

— Ну, и человек! — повторяла она, когда Домнушка передала историю с Татьяной. — Точно он с того свету объявился... Таких-то у нас ровно еще не бывало. А где он робить будет?

— Не знаю я ничего, Дунюшка... Не говорит он со мной об этом, а сама спрашивать боюсь. С Татьяной он больше разговоры-то свои разговаривает...

— Оказия, бабонька!.. А неспроста он, твой-то солдат, Домнушка...

— Знамо дело, неспроста... Боюсь я его до смерти.

— Уж выкинет какую-нибудь штуку... И чем, подумаешь, взял: тихостью. Другие там кулаками да горлом, а он тишиной донимает. Может, на фабрику поступит?

— Не знаю, Дунюшка, ничего не знаю... Везде ходит, все смотрит, а делать пока ничего не делает.

— Может, денег из службы много вынес?

— Нет, особенных денег не видать, а на прожиток хватает пока што.

Про себя Рачителиха от души жалела Домнушку: тяжело ей, бедной... С полной-то волюшки да прямо в лапы к этакому темному мужику попала, а бабенка простая. Из-за простоты своей и мужнино ученье теперь принимает.

Солдат продолжал свое «поведение» и с другими. Со всеми он свой человек, а с каждым порознь свое обхождение. В первое же воскресенье зашел в церковь и на клиросе дьячку Евгеньичу подпевал всю службу, после обедни подошел к о. Сергею под благословение, а из церкви отправился на базар. Потолкавшись на народе, он не забыл и волость — там с волостными старичками покалякал. Из волости прошел в кабак к Рачителихе и перекинулся с ней двумя-тремя словечками. Из кабака отправился в гости к брату Агапу, а по пути завернул проведать баушку Акулину. Одним словом, солдат сразу зарекомендовал себя «человеком с поведением».

О переселенцах не было ни слуху ни духу, точно они сквозь землю провалились. Един-

ственное известие привезли приезжавшие перед рождеством мужики с хлебом, — они сами были из орды и слышали, что весной прошел обоз с переселенцами и ушел куда-то «на линию».

Глава 44

Полуэхт Самоварник теперь жил напротив Морока, — он купил себе избу у Канусика. Изба была новая, пятистенная и досталась Самоварнику почти даром. Эта дешевка имела только одно неудобство, именно с первого появления Самоварника в Туляцком конце Морок возненавидел его отчаянным образом и не давал прохода. Только Самоварник покажется на улице, а Морок уж кричит ему из окна:

— Эй ты, чужая ужна!.. Заходи ко мне чай пить... Ужо мне надо будет одно словечко сказать.

Полуэхт делал вид, что не слышит, и Морок провожал его отборными ругательствами до поворота за угол. По зимам Морок решительно ничего не делал и поэтому преследовал своего врага на каждом шагу. Выведенный из терпения Самоварник несколько раз

бегал жаловаться в волость, но там ему старик Основа ответил поговоркой, что «не купи дом — купи соседа». Всего обиднее было то, что за Морока стоял весь Туляцкий конец. По праздникам Самоварник старался совсем не выходить на улицу, а в будни пробирался на фабрику задами. Но и эта уловка не помогла. Морок каждый день выходил на мост через Култым и терпеливо ждал, когда мимо него пойдет с фабрики или на фабрику Самоварник, и вообще преследовал его по пятам. Собиралась целая толпа, чтобы посмотреть, как Морок будет «страмить» дозорного.

— Полуэхту Меркулычу сорок одно с кисточкой, — говорил Морок, встречая без шапки своего заклятого врага. — Сапожки со скрипом у Полуэхта Меркулыча, головка напомажена, а сам он расповаженный... Пустой колос голову кверху носит.

— Отстань, смола горючая! — ругался Самоварник.

Доведенный до отчаяния, Полуэхт попробовал даже подкупить Морока и раз, когда тот поджидал его на мосту, подошел прямо к нему и проговорил с напускною развязно-

стью:

— А што, сусед, разве завернем отседа к Рачителихе?.. Выпили бы, родимый мой...

Сначала Морок как будто оторопел, — он не ожидал такого выверта, — но потом сообразил и, показывая свой кулак, ответил:

— У меня уж для тебя и закуска припасена... Пойдем. Тебе которого ребра не жаль?

Ненависть Морока объяснялась тем обстоятельством, что он подозревал Самоварника в шашнях с Феклистой, работавшей на фабрике. Это была совсем некрасивая и такая худенькая девушка, у которой душа едва держалась в теле, но она как-то пришлась по сердцу Мороку, и он следил за ней издали. С этою Феклистой он не сказал никогда ни одного слова и даже старался не встречаться с ней, но за нее он чуть не задушил солдатку Аннушку только потому, что не терял надежды задушить ее в свое время.

Положение Самоварника получалось критическое: человек купил себе дом — и вдруг ни проходу, ни проезду. Ничего не оставалось, как вернуться в свой Кержацкий конец на общее посмешище. Единственным союзни-

ком Самоварника являлся синельщик Митрич, тощий и чахоточный вятчанин, появившийся в Ключевском заводе уже после воли. Этот Митрич одинаково был чужим для всех трех концов и держал сторону Самоварника только потому, что жил у него на квартире. Пользы от Митрича не могло и быть. В самый разгар этой борьбы Самоварника с Мороком явился на выручку «Домнушкин солдат». Он познакомился с Полуэхтом где-то на базаре, а потом завернул по пути к нему в избу.

— Одолел меня Морок, — жаловался Полуэхт. — Хошь сейчас избу продавать... Прямо сказать: язва.

Артем только качал головой в знак своего сочувствия.

— Ядовитый мужичонко, — поддакивал он Самоварнику. — А промежду прочим и так сказать: собака лает — ветер носит. Надо его будет немного укоротить.

— Родимый мой, заставь вечно бога молить!.. Поедом съел... Вот спроси Митрича.

— Укротим, Полуэхт Меркулыч, только оно не вдруг, а этак полегоньку... Шелковый будет.

Когда Морок увидел, как Артем завел «канпанию» с Самоварником, то закипел страшною яростью и, выскочив на улицу, заорал:

— Эй, солдат, кислая шерсть, чаю захотел?.. Завели канпанию, нечего сказать: один двухорловый, а другой совсем темная копейка. Ужо который которого обует на обе ноги... Ах, черти деревянные, что придумали!.. На одной бы веревке вас удавить обоих: вот вам какая канпания следовает...

— Ах, озорник, озорник! — удивлялся «Домнушкин солдат». — Этакая пасть, подумаешь, а?

Вместе с Самоварником солдат пробрался на фабрику и осмотрел все с таким вниманием, точно собирался ее по меньшей мере купить. С фабрики он отправился на Крутяш.

— Давно собираюсь роденьку свою навестить, — объяснял он Самоварнику. — К Никону Авдеичу, значит... Не чужой он мне, ежели разобрать. Свояком приходится.

Эта смелость солдата забраться в гости к самому Палачу изумила даже Самоварника: ловок солдат. Да еще как говорит-то: не чужой мне, говорит, Никон Авдеич. Нечего ска-

зать, нашел большую родню — свояка.

Действительно, Артем отправился на Медный рудник и забрался прямо к Анисье в качестве родственника. Сначала эта отчаянная бабенка испугалась неожиданного гостя, а потом он ей понравился и своею обходительностью и вообще всем поведением.

— Все-то у вас есть, Анисья Трофимовна, — умиленно говорил солдат. — Не как другие прочие бабы, которые от одной своей простоты гинут... У каждого своя линия. Вот моя Домна... Кто богу не грешен, а я не ропщу: и хороша — моя, и худа — моя... Закон-то для всех один.

— Уж ты не взыскивай с нее очень-то, — умасливала его Анисья. — Одна у нас, у баб, слабость. Около тебя-то опять человеком будет.

— Это вы правильно, Анисья Трофимовна... Помаленьку. Живем, прямо сказать, в темноте. Народ от пня, и никакого понятия...

Палач отнесся очень благосклонно к «свояку» и даже велел Анисье подать гостю стакан водки.

— Не потребляю, Никон Авдеич, — ответил

Артем. — Можно так сказать, что даже совсем презираю это самое вино.

— Какой же ты после этого солдат? — удивлялся Палач. — Эх, служба, служба, плохо дело...

— И прежде не имел я этого малодушия, Никон Авдеич, а теперь уж привыкать поздно.

Особенно любил Артем ходить по базару в праздники; как из церкви, так прямо и на базар до самого вечера. С тем поговорит, с другим, с третьим; в одной лавке посидит, перейдет в другую, и везде свой разговор. Базар на Ключевском был маленький, всего лавок пять; в одной старший сын Основы сидел с мукой, овсом и разным харчем, в другой торговала разною мелочью старуха Никитична, в третьей хромой и кривой Желтухин продавал разный крестьянский товар: чекмени, азямы, опояски, конскую сбрую, пряники, мед, деготь, веревки, гвозди, варенье и т. д. Две лучших лавки принадлежали Груздеву, одна с красным товаром, другая с галантереей. Перед рождеством в лавку с красным товаром Груздев посадил торговать Илюшку Рачи-

теля: невелик паренек, а сноровист. Поверять его приезжал каждую субботу старший приказчик из Мурмоса, а иногда сам Груздев, имевший обыкновение наезжать невзначай.

По праздникам лавка с красным товаром осаждалась обыкновенно бабами, так что Илюшка едва успевал с ними поправляться. Особенно доставалось ему от поденщиц-щеголих. Солдат обыкновенно усаживался где-нибудь у прилавка и смотрел, как бабы тащили Илюшке последние гроши.

— Эх, бить-то вас некому, умницы! — обругает он иной раз, когда придется невтерпеж от бабьей глупости. — Принесла деньги, а унесла тряпки...

— Ты сам купи да подари, а потом и кори, — ругались бабы. — Чего на чужое-то добро зариться? Жене бы вот на сарафан купил.

Илюшка вообще был сердитый малый и косился на солдата, который без дела только место просиживает да другим мешает. Гнать его из лавки тоже не приходилось, ну, и пусть сидит, черт с ним! Но чем дальше, тем сильнее беспокоили эти посещения Илюшку. Он начинал сердиться, как котенок, завидевший

собаку.

— Трудненько тебе, Илюша, — ласково говорит солдат. — Ростом-то еще не дошел маненько...

— Не твоя забота, — огрызается Илюшка. — Шел бы ты, куда тебе надо, а то напрасно только глаза добрым людям мозолишь.

— Ишь ты, какой прыткой! — удивляется солдат. — Места пожалел.

В каких-нибудь два года Илюшка сделался неузнаваем — вырос, поздоровел, выправился. Только детское лицо было серьезно не сто годам, и на нем ложилась какая-то тень. По вечерам он частенько завертывал проведать мать в кабаке, — сам он жил на отдельной квартире, потому что у матери и без него негде было кошку за хвост повернуть. Первым делом Илюшка подарил матери платок, и это внимание прошибло Рачителиху. Зверь Илюшка точно переродился, и материнское сердце оттаяло. Да и все другие не нахвалились, начиная с самого Груздева: очень уж ловкий да расторопный мальчуган. Большому за ним не угнаться. Рачителиха чувствовала, что сын жалеет ее и что в его задумчивых

не по-детски глазах для нее светится конец ее каторжной жизни. Не век же и ей за кабацкою стойкой мыкаться.

Раз вечером Илюшка пришел к матери совсем угрюмый и такой неласковый, что это встревожило Рачителиху.

— Уж ты здоров ли? — спросила она.

— Ничего, слава богу...

Помолчав немного, Илюшка, между прочим, сказал:

— Солдат меня этот одолел... Придет, вытаращит глаза и сидит.

— Ну, и пусть сидит... Он ведь везде эк-ту ходит да высматривает. Вчерашний день потерял...

— Нет, мамынька, не то: неспроста он обхаживает нас всех.

— Чумной какой-то!.. Дураком не назовешь, а и к умным тоже не пристал.

Илюшка только улыбнулся и замолчал.

— Мамынька, што я тебе скажу, — проговорил он после длинной паузы, — ведь солдат-то, помяни мое слово, или тебя, или меня по шее... Верно тебе говорю!

— Н-но-о?!

— Верно тебе говорю... Вот погляди, как он в кабак целовальником сядет.

— Да не пес ли? — изумилась Рачителиха. — А ведь ты правильно сказал: быть ему в целовальниках... Теперь все обнюхал, все осмотрел, ну, и за стойку. А только как же я-то?

— Ты-то?.. Ты так и останешься, а Груздев, наверное, другой кабак откроет... У тебя мочеганы наши, а у солдата Кержацкий конец да Пеньковка. Небойсь не ошибется Самойло-то Евтихыч...

Глава 45

Известие, что на его место управителем назначен Палач, для Петра Елисеича было страшным ударом. Он мог помириться с потерей места, с собственным изгнанием и вообще с чем угодно, но это было свыше его сил.

— Им нужны кровопийцы, а не управители! — кричал он, когда в Ключевской завод приехал исправник Иван Семеныч. — Они погубят все дело, и тогда сам Лука Назарыч полетит с своего места... Вот посмотрите, что так будет!

— А ну их! — равнодушно соглашался ис-

правник. — Я сам бросаю свою собачью службу, только дотянуть бы до пенсии... Надоело.

Иван Семеныч вообще принял самое живое участие в судьбе Мухина и даже помогал Нюрочке укладываться.

— Я к тебе в гости на Самосадку приеду, писанка, — шутил он с девочкой. — Летом будем в лес по грибы ходить... да?

Предварительно Петр Елисеич съездил на Самосадку, чтобы там приготовить все, а потом уже начались серьезные сборы. Домнушка как-то выпросилась у своего солдата и прибежала в господский дом помогать «собираться». Она горько оплакивала уезжавших на Самосадку, точно провожала их на смерть. Из прежней прислуги у Мухина оставалась одна Катря, по прежнему «на горничном положении». Тишка поступал «в молодцы» к Груздеву. Таисья, конечно, была тоже на месте действия и управлялась вместе с Домнушкой.

Сборы на Самосадку вообще приняли грустный характер. Петр Елисеич не был суеверным человеком, но его начали теснить какие-то грустные предчувствия. Что он высидит там, на Самосадке, а затем, что ждет бед-

ную Нюрочку в этой медвежьей глуши? Единственным утешением служило то, что все это делается только «пока», а там будет видно. Из заводских служащих всех лучше отнесся к Петру Елисеичу старый рудничный надзиратель Ефим Андреич. Старик выказал искреннее участие и, качая головой, говорил:

— Теперь молодым ход, Петр Елисеич, а нас, стариков, на подножный корм погонят всех... Значит, другого не заслужили. Только я так думаю, Петр Елисеич, что и без нас тоже дело не обойдется. Помудрят малым делом, а потом нас же за оба бока и ухватят.

Крепкий был старик Ефим Андреич и не любил жаловаться на свою судьбу, а тут не утерпел. Он даже прослезился, прощаясь с Петром Елисеичем.

Обоз с имуществом был послан вперед, а за ним отправлена в особом экипаже Катря вместе с Сидором Карпычем. Петр Елисеич уехал с Нюрочкой. Перед отъездом он даже не зашел на фабрику проститься с рабочими: это было выше его сил. Из дворни господского дома остался на своем месте только один старик сторож Антип. У Палача был свой штат двор-

ни, и «приказчица» Анисья еще раньше похвалялась, что «из мухинских» никого в господском доме не оставит.

Груздевский дом на Самосадке был жарко натоплен в ожидании новых хозяев. Он стоял пустым всего около года и не успел еще принять тот нежилой вид, которым отличаются все такие дома. Нюрочка была в восторге, главным образом, от двух светелок, где летом так хорошо. Сбежалась вся пристань поглазеть на бывшего приказчика. В комнатах набралось столько всевозможной родни, что повернуться было негде. Не пришла только сама Василиса Корниловна, — ндравная старуха сама ждала первого визита. Вся эта суматоха произвела на Нюрочку какое-то опьяняющее впечатление, точно она переселилась в какой-то новый мир. Да и бояться ей теперь было некого: разбойник Вася был далеко — в Мурмосе.

— Нюрочка, ты теперь большая девочка, — заговорил Петр Елисеич, когда вечером они остались вдвоем, — будь хозяйкой.

— А что значит, папа, быть хозяйкой?

— Гм... Домнушки у нас нет, Тишки тоже.

Остается одна Катря... Кто-нибудь должен смотреть за порядком в доме. Понимаешь?

— Как Анфиса Егоровна, папа?

— Ну, да.

Нюрочка задумалась, а потом разрешила все недоразумения:

— Папа, мне нужно сшить такой же фартук, как у Анфисы Егоровны.

Первое время хлопоты по устройству в новом месте заняли всех. Даже Катря, и та «уходилась» с разными хозяйственными хлопотами. У ней была своя отдельная комната, где раньше жила Анфиса Егоровна. Кухаркой поступила в груздевский дом сердитая старуха Потапиха, жившая раньше у Груздева. Одним словом, все устроилось помаленьку, и Петр Елисеич с каким-то страхом ждал наступления того рокового момента, когда будет поставлен последний стул и вообще нечего будет делать. Впрочем, оставалась еще в запасе пристанская родня, с которою приходилось теперь поневоле дружить, — ко всем нужно сходить в гости и всех принять. Эти церемонии заняли немало времени. Бабушка Василиса встретила переселенцев очень миролю-

биво, как и брат Егор. Старуха сильно перемогалась и по-раскольничьи готовилась к смерти. Лицо у ней сделалось совсем белое, как воск; только глаза по-прежнему смотрели неприступно-строго. Это мертвое лицо точно светлело каким-то внутренним светом только в присутствии Нюрочки.

— Ах ты, моя басурманочка, — ласково шептала старуха, приглаживая своею сухою, дрожавшею рукой белокурую головку Нюрочки. — Не любишь баушку Василису?

Когда ей делалось особенно тяжело, старуха посылала за басурманочкой и сейчас же успокаивалась. Нюрочка не любила только, когда бабушка упорно и долго смотрела на нее своими строгими глазами, — в этом взгляде выливался последний остаток сил бабушки Василисы.

Петр Елисеич при переезде на Самосадку обратил особенное внимание на библиотеку, которую сейчас и приводил в порядок с особенною любовью, точно он после трудного и опасного путешествия попал в общество старых хороших знакомых. Да, это были старые, неизменные друзья. В последние года он как-

то поотстал от занятий и теперь мог с лихвой наверстать разраставшиеся пробелы. Большинство книг были иностранные, преимущественно французские и английские. Особенно любил Петр Елисеич английскую специальную литературу, где каждый вопрос разрабатывался с такою солидною роскошью, как лучшие предметы английского производства. По горнозаводскому делу здесь оставалось только пользоваться уже готовыми результатами феноменально дорогих опытов. Применение к местным условиям и требованиям производства являлось делом несложным. В воображении Петра Елисеича рисовались грандиозные картины, захватывавшие дух своею смелостью. Для выполнения их под руками было решительно все: громадная заводская площадь, привыкшая к заводскому делу рабочая сила, уже существующие фабрики, и вообще целый строй жизни, сложившейся еще под давлением крепостного режима. И вдруг все это светлое будущее, обогатившее бы и заводовладельца и заводское население, заслонено сейчас одною фигурой крепостного управляющего Луки Назарыча.

Глава 46

В великое говенье Василиса Корниловна совсем разнемоглась. Она уже больше не вставала и говорила с трудом: левая половина тела вся отнялась. Желтая, как скитский воск, старуха лежала на лавке и с умилительным терпением ждала смерти. Последняя любовь угасавшей жизни теперь сосредоточивалась на жигале Мосее и маленькой Нюрочке. Старуха потребовала, чтобы Мосей выехал с своего куреня и дожидался ее смерти. О других детях, как Петр Елисеич и Егор, она даже не вспоминала. Когда Петр Елисеич пригласил из Ключевского завода фельдшера Хитрова, Василиса Корниловна с трудом проговорила:

— От смерти лекарства нет... Смертынька моя пришла. Пошлите в скиты за Енафой... Хочу принять последнюю исправу...

Пришлось исполнить эту последнюю волю умирающей все тому же Петру Елисеичу. В Заболотье был наряжен брат Егор. Его возвращения ждали с особенным нетерпением, точно он мог привезти с собой чудо исцеления. Нюрочка успела привыкнуть к бабушке и да-

же ночевала у ней в избе. Егор вернулся только через три дня. Это было ночью, когда вся Самосадка спала мертвым сном и только теплился огонек в избе Егора. Двое саней проехали прямо в груздевский дом. Рано утром, когда Нюрочка сидела у бабушки, в избу вошла мать Енафа в сопровождении инока Кирилла. Василиса Корниловна облегченно вздохнула: будет кому похоронить ее по древлему благочестию.

— Ну, што, баушка? — грубо спрашивала мать Енафа, останавливаясь перед больной. — Помирать собралась?

— Завтра помру, матушка, — кротко ответила старуха, собирая последние силы. — Спасибо, што не забыла.

— Друг о дружке должны заботиться, а бог обо всех.

Больная тяжело заметалась и закрыла глаза. Инок Кирилл неподвижно стоял у двери, опустив глаза в землю.

— Желаю принять иночество, — шептала больная, оправляясь от забытья.

Мать Енафа и инок Кирилл положили «начал» перед образами и раскланялись на все

четыре стороны, хотя в избе, кроме больной, оставалась одна Нюрочка. Потом мать Енафа перевернула больную вниз лицом и покрыла шелковою пеленой с нашитым на ней из желтого позумента большим восьмиконечным раскольничьим крестом.

— Теперь читай: «Ослаби, остави, прости, боже, согрешения моя вольныя и невольныя», — грубо приказывала мать Енафа.

Больная только слабо стонала, а читать за нее должен был инок Кирилл. Нюрочке вдруг сделалось страшно, и она убежала домой. Кстати, там ее уже искали: приехал из Мурмоса Самойло Евтихыч и мастерица Таисья.

— Ой, какая ты большая выросла! — удивлялся Груздев, ласково поглядывая на Нюрочку. — Вот и хозяйка в дому, Петр Елисеич!

Груздев приехал по делу: время шло к отправке весеннего каравана, и нужно было осмотреть строившиеся на берегу барки. Петр Елисеич, пожалуй, был и не рад гостям, хотя и любил Груздева за его добрый характер.

— Вот и с старушкой кстати прощусь, — говорил за чаем Груздев с грустью в голосе. — Корень была, а не женщина... Когда я еще бо-

сиком бегал по пристани, так она частенько началила меня... То за вихры поймает, то подзатыльника хорошего даст. Ох, жизнь наша, Петр Елисеич... Сколько ни живи, а все помирать придется. Говори мне спасибо, Петр Елисеич, что я тогда тебя помирил с матерью. Помнишь? Ежели и помрет старушка, все же одним грехом у тебя меньше. Мать — первое дело...

Петр Елисеич больше молчал. Он вперед был расстроен быстро близившеюся развязкой. Его огорчало больше всего то, что он не чувствовал того, что должна была бы вызвать смерть любимой женщины. Мать оставалась для него чужою, как отвлеченная идея или представление. Он напрасно отыскивал в своей душе то теплое и детски-чистое чувство, которое является синонимом жизни. Именно этого чувства и не было. Неужели впоследствии так же отнесется к нему и Нюрочка? Нет, это ужасно... Жизнь являлась какою-то колоссальною бессмыслицей, и душу охватывала щемящая пустота.

Вечером Петр Елисеич отправился к матери вместе с Нюрочкой. Груздев был уже там.

Больная лежала перед образами вся в черном. До десятка желтых восковых свеч тускло горели перед медным распятием и старинными складнями. Дым ладана заволакивал все, а мать Енафа все помахивала кацеей,[393] из которой дым так и валил. Первое, что поразило Нюрочку, это удивительно приятный женский голос, который, казалось, наполнял всю избу вместе с ладаном. Читала какая-то незнакомая старица, вся в черном и с черною шапочкой на голове. Около нее стояла с лестовкой в руке мастерица Таисья и откладывала поклон за поклоном. А женский голос все читал и читал звенящим раскольничьим распевом. Нюрочку вдруг охватило еще не испытанное ею чувство благоговения. Когда мастерица Таисья подала ей лестовку и ситцевый подрушник, девочка принялась откладывать земные поклоны и креститься, повторяя каждое движение Таисьи. Ей казалось, что она сама возносится куда-то кверху вместе с кадильным дымом, а звеневший молодой голос звал ее в неведомую даль. Когда читавшая инокиня оглянулась зачем-то к Таисье, Нюрочке показалось, что она видит ангела:

из темной рамы «иночества» на нее глянуло бледное лицо неземной красоты. Серые большие глаза скользнули по ней, и этот случайный взгляд навсегда запал в детскую душу. Нюрочке страстно захотелось подойти к удивительной инокине и поцеловать край ее темной рясы. Она все время бесконечной раскольничьей службы стояла, как очарованная, и все смотрела на читавшую инокиню.

— Кто эта инокиня, которая читала? — спрашивала Нюрочка, когда мастерица Таисья повела ее домой.

— Какая это инокиня, — неохотно ответила Таисья, шагая по узенькой тропочке, пробитой в сугробах снега прямо под окнами. — Инокини не такие бывают.

— А кто же она?

— Послушница Аглаида... Она с матерью Енафой приехала из Заболотья. Уставщицей у них в скитах будет... А зачем ты спрашиваешь?

— Так.

Нюрочке вдруг сделалось больно: зачем Таисья так говорит о черном ангеле, которого ей хотелось целовать?

Целую ночь не спали ни в груздевском доме, ни в избе Егора, — все томились ожиданием, когда «отойдет» Василиса Корниловна. Петр Елисеич, конечно, был против разных церемоний, какие проделывались над умирающей наехавшею скитскою братией, но что поделаешь с невежественною родней, когда старуха сама потребовала «иночества», а перед этим еще должно было совершиться «скитское покаяние», соборование маслом и т. д. Единственным разумным человеком являлась мастерица Таисья, и через нее Петр Елисеич делал напрасную попытку уговорить остальных, но все это было бесполезно.

— Сама матушка Василиса Корниловна пожелала, — с обычным смирением отвечала Таисья. — Ее воля, Петр Елисеич, голубчик.

— Она больная женщина, и другие должны позаботиться об ее спокойствии.

Таисья терпеливо выслушивала выговоры и ворчанье Петра Елисеича и не возражала ему. Это было лучшее средство поставить на своем, как она делала всегда. Собственно говоря, Петр Елисеич всегда был рад ее видеть у себя, и теперь в особенности, — Таисья везде

являлась желанною гостьей.

Так прошла вся ночь. Таисья то и дело уходила справляться в избу Егора, как здоровье бабушки Василисы. Петр Елисеич дремал в кресле у себя в кабинете. Под самое утро Таисья тихонько разбудила его.

— Отходит Василиса Корниловна, — шепотом объявила она. — Вся затишала, а это уж к смерти.

Как Петр Елисеич ни был подготовлен к такому исходу, но эти слова ударили его, точно обухом. У него даже руки тряслись, когда он торопливо одевался в передней.

— Не нужно ли чего-нибудь? — спрашивал он.

— Ох, ничего не нужно, родимый мой... Все здесь останется, одна душенька отойдет.

В избе Егора собралась в последний раз вся семья жигаля Елески: Петр Елисеич, Мосей и Егор. Больная лежала на старом месте. Когда Петр Елисеич вошел в избу, она открыла глаза, обвела всех и слабо поморщилась. Одна Таисья поняла это движение и сейчас же побежала за Нюрочкой. Девочку привели сонную; она почти не сознавала, что делается во-

круг. Ее заставили подойти к бабушке. Сухая старушечья рука легла на ее белокурую головку, но силы уже оставляли бабушку Василису, и она только жалобно посмотрела кругом. Таисья взяла ее здоровую правую руку, сложила большим крестом и благословила ею плакавшую маленькую басурманку.

— Живите... живи... богом... — бормотали высохшие губы больной.

В избе воцарилась мертвая тишина, и мать Енафа подала знак Аглаиде читать отходную. При сером свете занимавшегося мартовского утра, глядевшего в маленькие оконца избы Елески жигаля, старая Василиса Корниловна, наконец, «отошла»... У Петра Елисеича точно что оборвалось в груди, и он глухо зарыдал. Что-то такое несправедливое и жестокое пронеслось над избушкой Елески жигаля, что отравляло жизнь всем, начиная вот с этой покойницы. Да, он сам, Петр Елисеич, был несправедлив к ней, к матери, потому что несправедлива была вся жизнь... Его поразил больше всего ничтожный факт: когда Аглаида стала читать отходную, Таисья быстро сунула под голову умиравшей заранее приготовлен-

ный камень. Так требует раскольничий обычай. Каждый уносит с собой в могилу такие камни.

Похороны заняли целых три дня. Над покойницей читали попеременно Аглаида и Таисья. Гроб был сделан колодой, а не дощатый. Покойницу обули в лапти, как того требовал обычай, хотя в Самосадке в лаптях никто не ходил, спеленали по савану широкою холстиной и положили на стол в переднем углу. По обычаю, над женщиной читали только женщины, а инок Кирилл привезен был только для исполнения чина погребения. Нюрочка хотя и плакала, но только потому, что плакали другие. В избу к покойнице она бегала, чтобы поговорить с послушницею Аглаидой, с которою успела познакомиться в день бабушкиной смерти. Эта послушница производила на девочку неотразимое впечатление своею застывшею красотой и чудным голосом. Нюрочка нарочно плакала, чтобы слышать утешения и ласковые слова Аглаиды. Обыкновенно Аглаида уводила Нюрочку за занавеску к печке, усаживала в уголок на лавку или к себе на колени и говорила ласковым

шепотом одно и то же:

— Сорок дён и сорок ночей будет летать баушкина душенька над своим домом и будет она плакать... Горько будет она плакать, а мы будем молиться. Все мертвые души так-то летают над своими избами. А в радуницу ты возьмешь красное яичко и пойдешь христосоваться к баушке на могилку: в радуницу все покойнички радуются. От великого четверга страстныя седмицы до вознесенья все мертвые душеньки в светлом месте летают, а от вознесенья до великого четверга утомляются в темном. Только у них и радости, когда за них на земле кто помолится... На детях никакого греха нет, вот ихняя молитва и доходнее к богу, чем наша. Только ты молись большим крестом да с лестовкой...

— Я буду вместе с тобой молиться, — отвечала Нюрочка, стараясь прижаться всем телом к ласковой послушнице.

— Я скоро уеду... — печально говорила Аглаида и молча гладила Нюрочку своею мягкою белою рукой.

— А я скажу папе, чтобы он тебя не отпускал...

— Нельзя, родная моя.

В Нюрочке проснулось какое-то страстное чувство к красивой послушнице, как это бывает с девочками в переходном возрасте, и она ходила за ней, как тень. Зачем на ней все черное? Зачем глаза у ней такие печальные? Зачем на нее ворчит походя эта сердитая Енафа? Десятки подобных вопросов носились в голове Нюрочки и не получали ответа.

Эта быстро вспыхнувшая детская страсть исчезла с такою же скоростью, как и возникла. В день похорон, когда Нюрочка одна пошла из дому, она увидела, как у ворот груздевского дома, прислонившись к верее, стоял груздевский обережной Матюшка Гущин, а около него какая-то женщина. Девочка инстинктивно оглянулась и заметила в первую минуту, что женщина о чем-то плачет. Уже подходя к бабушкиной избе, Нюрочка догадалась, что эта плакавшая женщина была послушница Аглаида. Это открытие взволновало девочку до слез: ее черный ангел, ее любовь — и какой-нибудь Матюшка. Нюрочку оскорбило то, что сестра Аглаида разговаривает с мужиком, а все мужики пьют водку и

ругаются нехорошими словами.

«Нет, она нехорошая», — думала Нюрочка с горечью во время похорон и старалась не смотреть на сестру Аглаиду.

Во главе похоронной церемонии стоял инок Кирилл, облаченный в темную ряску и иноческую шапочку. Он говорил возгласы и благословлял покойницу в далекий путь, из которого нет возврата. Вся Самосадка сбежалась провожать бабушку Василису на свой раскольничий «могильник», где лежали деды и прадеды. Бабы подняли такой ужасный вой и так запричитали, что даже у Петра Елисеича повернулось сердце. Груздев тоже присутствовал на похоронах, — он остался лишний день из уважения к приятелю. Вся Самосадка шла за колодой бабушки Василисы. День был пасмурный, и падал мягкий снежок. В воздухе неслось похоронное пение, — пели скитницы, мать Енафа и Аглаида, а им подтягивал инок Кирилл. Мастерица Таисья не могла петь от душивших ее слез.

Старый раскольничий могильник расположился на высоком берегу Каменки бобровою шапкой из мохнатых елей, пихт и кед-

ров. Над каждою могилкой стоял деревянный голубец с деревянным восьмиконечным крестом. Нюрочку удивило, какая маленькая могилка была вырыта для бабушки Василисы, а потом ей сделалось страшно, когда мерзлая земля застучала о гробовую крышку и бабы неистово запричитали. С могильника вернулись опять в избу Егора, где и справили поминальный стол. Всем верховодила Таисья. Скитские обедали за отдельным столом и ели каждый из своей чашки. Когда после похоронных блинов пропета была последняя вечная память, Петр Елисеич отправил Нюрочку домой. Провожать ее вызвалась Аглаида, потому что Таисья управлялась с гостями. Сначала они шли молча, и, только уже подходя к груздевскому дому, Аглаида проговорила:

— Аннушка, ты сердишься на меня?

Нюрочка в первую минуту смутилась и посмотрела на Аглаиду злыми глазами, а потом бросилась к ней на шею и громко зарыдала. Когда Аглаида узнала, в чем дело, она опустила глаза и сказала:

— Да ведь это мой родной брат, Аннушка... Я из гущинской семьи. Может, помнишь, года

два тому назад вместе ехали на Самосадку к троице? Я с брательниками на одной телеге ехала... В мире-то меня Аграфеной звали.

Действительно, Нюрочка все припомнила, даже ту фразу, которую тогда кучер Семка сказал Аграфене: «Ты, Аграфена, куды телят-то повезла?» Нюрочка тогда весело смеялась. Это объяснение с Аглаидой успокоило ее, но прежнего восторженного чувства к послушнице не осталось и следа: оно было разбито. Теперь перед ней была самая обыкновенная женщина, а не черный ангел.

За поминальным обедом Груздев выпил лишнюю рюмку и вернулся домой слегка навеселе. Сейчас после обеда он должен был отправиться в обратный путь. Переодеваясь по-дорожному, он весело ухмылялся и бормотал себе в бороду:

— Ну и бабы только... ах, хитрые!

— А что? — полюбопытствовал Петр Елисеич, заинтересованный этим совсем не похоронным настроением своего друга.

— Нет, они, брат, унюхают все и так сделают, что сам себя не узнаешь... Ты думаешь, я сам на пристань приехал?.. Как бы не так!..

Вышло-то оно, пожалуй, так, что и сам, а на деле нужно было сестре Аглаиде повидаться с брательником Матюшкой. Да... Святая-то душа, Таисья, у нас в Мурмосе гостила, ну и подвела всю механику. Из Заболотья везут Аглаиду, а я везу Матюшку. Ну и бабы!.. Мне-то все равно, когда ни ехать, а только они-то хитры больно... Даже и хорошо вышло, што баушку Василису проводил до могилки. Анфиса Егоровна похвалит...

Совсем одетый Груздев на прощанье спросил хозяина:

— Ну, а ты сам-то как о своей голове понимаешь?

— Ничего пока не понимаю, а живу на старые крохи.

— Это не резон, милый ты мой... Прохарчишься, и все тут. Да... А ты лучше, знаешь, что сделай... Отдавай мне деньги-то, я их оберну раза три-четыре в год, а процент пополам. Глядишь, и набежит тысчонка-другая. На Самосадке-то не прожить... Я для тебя говорю, а ты подумай хорошенько. Мне-то все равно, тебе платить или кому другому.

— Хорошо, я подумаю.

Про черный день у Петра Елисеича было накоплено тысяч двенадцать, но они давали ему очень немного. Он не умел купить выгодных бумаг, а чтобы продать свои бумаги и купить новые — пришлось бы потерять очень много на комиссионных расходах и на разнице курса. Предложение Груздева пришлось ему по душе. Он доверялся ему вполне. Если что его и смущало, так это груздевские кабаки. Но ведь можно уговориться, чтобы он его деньги пустил в оборот по другим операциям, как та же хлебная торговля.

— Ну, святая душа, смотри, уговор дороже денег: битый небитого везет, — весело шутил Груздев, усаживаясь в свою кибитку с Таисьей. — Не я тебя возил, а ты меня...

— Перестань ты, Самойло Евтихыч, шутки свои шутить, — ворчала Таисья. — Ты вот: хихи, а бес у тебя за спиной: ха-ха!

Глава 47

Скитские выехали с Самосадки в ночь, как всегда ездили. На передних санях ехал Мосей с Енафой, а на задних инок Кирилл с Аглаидой. Всем, кажется, удоволили мать Енафу на Самосадке: и холста подарили, и меду ка-

душку, и деньгами на помин души да на неугасимую. Сама Василиса Корниловна всю жизнь копила, чтобы было чем помянуть ее душеньку в скитах. Голыми денежками было выдано Енафе рублей сорок, а Петр Елисеич заплатил особо. Все-таки мать Енафа недовольна и все оглядывается назад. Вперед-то она ехала с Кириллом, а теперь он попал в одни сани с Аглаидой. Хитер пес... И что ему далась эта самая Аглаида? Кажется, по горло сыт: раньше с Федосьей прижил троих ребят, теперь с Акулиной путается. Ох, согрешенье одно с этими скитскими старцами! Грех от них большой идет по всем скитам...

Аграфена видела, что матушка Енафа гневается, и всю дорогу молчала. Один смиренный Кирилл чувствовал себя прекрасно и только посмеивался себе в бороду: все эти бабы одинаковы, что мирские, что скитские, и всем им одна цена, и слабость у них одна женская. Вот Аглаида и глядеть на него не хочет, а что он ей сделал? Как родила в скитах, он же увозил ребенка в Мурмос и отдавал на воспитанье! Хорошо еще, что ребенок-то догадался во-время умереть, и теперь Аглаида чи-

стотою своей перед ним же похваляется.

Зима была студеная, и в скиты проезжали через курень Бастрык, минуя Талый. Чистое болото промерзло, и ход был везде. Дорога сокращалась верст на десять, и вместо двух переездов делали всего один. Аглаида всю дорогу думала о брате Матвее, с которым она увидалась ровно через два года. И его прошибла слеза, когда он увидел ее в черном скитском одеянии.

— Ну, что наши, Матвеюшка? — спрашивала Аглаида, глотая слезы.

— Ничего, живут... Сперва-то брательники больно сердитовали на тебя, — отвечал Матюшка, — а потом ничего, умякли тоже... Не с кого взыскивать-то. Прямо сказать: отрезанный ломоть.

А как тянуло Аглаиду в мир, как хотелось ей расспросить брата обо всех, но, свидевшись с ним у ворот, она позабыла все слова, какие нужно было сказать. Так ничего и не спросила, и только поплакала вместе с Матюшкой. Добрее он из всех брательников и пожалел ее, черничку... После уж Таисья рассказала ей про все, что без нее сделалось на

Ключевском: и про уехавших в орду мочеган, и про Никитича, который купил покос у Деяна Поперешного, и про Палача, который теперь поживает с своею мочеганкой Анисьей в господском доме, и про Самойла Евтихыча, захватившего всю торговлю, и про всю родню в своем Кержацком конце. Целую ночь рассказывала Таисья, а черноризица Аглаида слушала ее и разливалась рекой. Хоть бы одним глазком глянуть ей на свой Ключевской завод! Уже под самый конец Таисья рассказала про Макара Горбатого, как он зажил в отцовском даме большаком, как вышел солдат Артем из службы и как забитая в семье Татьяна увидала свет.

— Макар-то и пировать бросил, — рассказывала Таисья. — Только есть у него што-то на уме: ночь-ночью ходит.

В скитах ждали возвращения матери Енафы с большим нетерпением. Из-под горы Нудихи приплелась даже старая схимница Пульхерия и сидела в избе матери Енафы уже второй день. Федосья и Акулина то приходили, то уходили, сгорая от нетерпения. Скитские подъехали около полуден. Первой вошла

Енафа, за ней остальные, а последним вошел Мосей, тащивший в обеих руках разные гостинцы с Самосадки.

— Благополучно ли съездила, матушка? — шамкала Пульхерия, в которой женское любопытство вечно враждовало с иноческою добродетелью.

— Ничего, слава богу, — нехотя отвечала Енафа, поглядывая искоса на обогревшихся мужиков. — Вот что, Кирилл, сведи-ка ты гостя к девицам в келью, там уж его и ухлебите, а ты, Мосеюшко, не взыщи на нашем скитском угощении.

— И то пойдем, Мосей, — с удовольствием согласился Кирилл. — Тебе, мирскому человеку, и отдохнуть впору... Тоже намаялся дорогой-то.

Выжив мужиков, мать Енафа вздохнула свободнее, особенно когда за гостем незаметно ушли и дочери. Ей хотелось отвести душеньку с Пульхерией. Прежде всего мать Енафа накинулась на Аглаиду с особенным ожесточением.

— Ты чего это, милая, мужикам-то на шею лезешь? — кричала она, размахивая своими

короткими руками. — Один грех избыла, захотелось другого... В кои-то веки нос показала из лесу и сейчас в сани к Кириллу залезла. Своем глазам видела... Стыдобушка головушке!

Пока мать Енафа началила, Аглаида стояла, опустив глаза. Она не проронила ни одного слова в свое оправдание, потому что мать Енафа просто хотела сорвать расходившееся сердце на ее безответной голове. Поругается и перестанет. У Аглаиды совсем не то было на уме, что подозревала мать Енафа, обличая ее в шашнях с Кириллом. Притом Енафа любила ее больше своих дочерей, и если бранила, то уж такая у ней была привычка.

— Нехорошо, Аглаидушка... — шамкала Пульхерия, качая своею дряхлою головой. — Ах, как нехорошо!.. Легкое место сказать, на кого позарилась-то! Слаб человек наш-то Кирилл.

Долго ругалась мать Енафа, приступая к Аглаиде с кулаками. Надоело, наконец, и ей, и она в заключение прибавила совершенно другим тоном:

— Клади начал да читай правило, смирен-

ница!

Положив начал перед образами и поклонившись в ноги матерям, Аглаида вполголоса начала читать свое скитское правило, откладывая поклоны по лестовке. Старуха сидела по прежнему на лавочке, а мать Енафа высыпала привезенный запас новостей. Она умела говорить без перерыва, с какими-то захлебываниями, точно бежала с журчаньем вода. В такт рассказа мать Пульхерия только качала головой и тяжело вздыхала. Господи, как это на миру-то и живут, — маются, бедные, а не живут. Чем дальше, тем хуже. Измотался совсем народ. Последние времена наступили: хлеб, и тот весят на клейменых весах с печатью антихриста. И выходит по писанию, как сказано в апокалипсисе: «Без числа его ни купити, ни продати никто не может, а число его 666».

— Тошнехонько и глядеть-то на них, на мирских, — продолжала Енафа с азартом. — Прежде скитские наедут, так не знают, куда их посадить, а по нонешним временам, как на волков, свои же и глядят... Не стало прежних-то христолюбцев и питателей, а пошли

какие-то богострастники да отчаянные. Бес проскочил и промежду боголюбивых народов... Везде свара и неистовство. Знай себе чай хлебают да табачище палят.

Взглянув на Аглаиду, мать Енафа прибавила уже шепотом на ухо Пульхерии:

— Таисья-то, смиренница-то, и та, слышь, чай прихлебывает потихоньку от своих... Тоже в отчаянные попала!..

— Матушки светы! — всхлипывала Пульхерия, раскачиваясь всем своим одряхлевшим телом. — Ох, страсти какие!..

— Верный человек мне про Таисью-то сказывал!.. На других-то уж и дивить нечего... Ох, нехорошо, матушка, везде нехорошо! Мечтание одолевает боголюбивые народы... В Златоусте, слышь, новая вера прошла: самовыкресты. Сами себя перекрещивают и молятся пятерней... На Мурмосе проявились дыромолы: сделают в стене в избе дыру и молятся... А што делается у поповщины, так ровно и говорить-то нехорошо. Столпы-то ихние в Екатеринбурге, ну, про них и в писании сказано: «И бысть нелады, мятеж и свары не малы — сталось разделение между собой до драки».

— А где у них Геннадий-то, архирей ихний?

— Да все в Суздале-монастыре у никониян на затворе... Неправильный он архирей, да человек-то хорош... Больно его жалеют... После Архипа тагильского при нем поповцы свет увидали, а теперь сидит, родимый, в челюстях мысленного льва.

— Архипа-то я помню, Енафа... Езжала в Тагил, когда он службу там правил. Почитай, лет с сорок тому времю будет, как он преставился. Угодный был человек...

— На могилку теперь к Архипу-то каждый год ходят, кануны говорят, все равно как у отца Спиридония. Ну, нынешние-то исправленные попы ослабели вконец... Даже неудобь сказуемо, матушка! Взять хоть того же Карпа или Евстигнея, екатеринбургских попов, али Каментария миясского. Теперь в Екатеринбурге-то снялись два новых, ставленных попа: Иван поп да Трефилий поп. Врукопашную, слышь, да за волосья друг дружку... Столпы-то замаялись с ними. Одна надежа осталась у них, у поповцев, на какого-то Савватия, тоже архирей, только из расейских. Его хотят вы-

писывать, чтобы свое-то бесчинство укротить. Везде мечтание идет, матушка, да и наши беспоповцы не лучше, пожалуй...

— Все это он мутит, льстец всескверный... [394] — повторяла мать Пульхерия, содрогаясь от ужаса. — От него пагуба идет...

— Бес проскочил промежду боголюбивыми народами, матушка. Осталась одна наша слабость... Мы вот тут сидим в лесу да грехи свои отмаливаем, а наши же наставники да наставницы большую силу забирают у милостивцев, и на заводах, и в городу. Тоже дошлый народ пошел... Таисья-то хоть и хлебает чай, а достаточно мне посказала. Поморцы, слышь, больно усилились и наших многих соблазнили: што ни дом, то и вера... В одном дому у них по две веры живет: отец так молится, а сын инако. Как голодные волки рыщут поморцы и большую силу забирают через своих баб, потому как у них явный брак считается за самый большой грех, а тайный блуд прощается. Жен с мужьями разделяют, детей с родителями... Настоящая пагуба эти поморцы нашему древнему благочестию.

— Все это он поднимает и сварит! — стона-

ла Пульхерия. — Прежде этого не было и в помине, штобы тайный грех лучше явного делался.

— Поморцы-то всех достигают: и поповцев, и беспоповцев, и единоверцев, и православных.

Старухи принялись опять шушукаться, а Аглаида, кончив правило, сняла с себя иноческое одеяние, надела свою скитскую пестрядину и залезла на полати, где обыкновенно спала. Она не любила подслушивать чужих разговоров и закрыла голову овчинным тулупом. Устала Аглаида с дороги, спать хотела давеча, а легла — сон и отбежал. Лежит она и думает, думает без конца, перебирая свою скитскую жизнь, точно она вчера только приехала сюда под Мохнатенькую горку. Господи, как ей страшно делается!.. Вот ее, «слепую», привез Кирилл и сдал на руки матери Енафе. Хоть и сердитая и на руку быстрая мать Енафа, а только Аглаида сердцем почуяла, что она добрая. Сколько стыда приняла тогда «слепая»: чуть кто помолитвуется под окном, она сейчас прятаться в голбец или в сени. По зимам народу пришлого в скитах види-

мо-невидимо. У матери Енафы везде дела и везде милостивцы, и никто мимо не проедет. До родин Аглаиду не трогали; а когда пришло время, увезли в какую-то лесную избушку на стародавнем курене. Отваживалась с ней сама мать Енафа: дело привычное. Родившегося ребенка Аглаиде и не показали, а его увез в Мурмос инок Кирилл. Там где-то и сгинул ребеночек, а Аглаида могла только плакать да убиваться. В миру бабьи слезы дешевы, а по скитам они и ничего не стоят. Вернулась Аглаида к Енафе уже «прозревшей» и начала принимать скитскую исправу. Прежде всего наложила на нее Енафа сорокадневный «канун»: однажды в день есть один ржаной хлеб, однажды пить воду, откладывать ежедневно по триста поклонов с исусовой молитвой да четвертую сотню похвале-богородице. Скитское правило особо и особо же шестьсот поясных поклонов опять с исусовой молитвой. На молитву мать Енафа поднимала новую трудницу в четыре часа утра. Разбудит ее и заставит молиться, а сама на печку, — ленивая была эта Енафа, хотя всю раскольничью службу знала до тонкости. Вынесла Аглаида свой ис-

кус в точности, ни одного раза не сказала «поперешного» слова матери Енафе да еще от себя прибавила за свой грех особую эпитимию: ляжет спать и полено под голову положит. Эта ревность тронула Енафу, и она душой полюбила свою новую послушницу. Тихая да работящая девка, воды не замутит, а голос, как у соловья. Принялась мать Енафа учить Аглаиду своему скитскому уставу, чтобы после она могла править сама скитскую службу. Свои-то девки едва ковыряли одну псалтырь, да на псалтыри и посели, а Аглаида еще у Таисьи всю церковную грамоту прошла.

— Экой у тебя голос, Аглаида! — удивлялась мать Енафа, когда кончилась служба. — В Москве бы тебя озолотили за один голос... У Фаины на Анбаше голосистая головщица Капитолина, а у тебя еще почище выходит. Ужо как-нибудь на Крестовых островах мы утрем нос Фаине-то.

Между скитом Фаины и скитом Енафы шла давнишняя «пря», и теперь мать Енафа задалась целью влоск уничтожить Фаину с ее головщицей. Капитолина была рябая девка с длинным носом и левое плечо у ней было вы-

ше, а Аглаида красавица — хоть воду у ней с лица пей. Последнего, конечно, Енафа не говорила своей послушнице, да и торопиться было некуда: пусть исправу сперва примет да уставы все пройдет, а расчет с Фаиной потом. Не таковское дело, чтобы торопиться.

Таким образом ключевская Аграфена сделалась черноризицей Аглаидой. Черноризицами называли тех скитниц, которые еще «не приняли венца», а носили уже иноческое одеяние. Аглаида возымела непременное желание сделаться «инокой» и готовилась к приятию ангельского чина, как мать Пульхерия. Все время, остававшееся свободным от уставного моленья и своей скитской домашности, она посвящала чтению жития разных святых. Единственным удовольствием для нее были то минуты, когда мать Енафа отпускала ее к матери Пульхерии. До ее избушки лесом было верст восемь, и девяностолетняя старуха ходила еще пешком к Енафе в гости даже зимой, как сегодня. У Пульхерии Аглаида отводила свою душу благочестивыми разговорами. Келейка у ней была маленькая, двоим негде повернуться, а Пульхерия спасалась в

ней сорок лет. К себе она никого не принимала по обету схимницы и только изредка сама ходила к Енафе. Пищу ей доставляла мать Енафа, для которой эта обязанность служила прекрасною доходною статьей: слава о постнице Пульхерии разошлась по всему Уралу, и через Енафу высылалась разная доброхотная милостыня, остававшаяся почти целиком в ее руках.

В келье у Пульхерии решительно ничего не было, кроме печки, кое-как сложенной из плитняка, да деревянной лавки, на которой она спала.

— Вот не могу на земле спать, — сокрушалась Пульхерия от чистого сердца. — Плоть свою не могу усмирить... Мышей боюсь.

Аглаида думала в это время, что со временем, когда Пульхерия умрет, она займет ее келью и будет спасать душу тоже одна.

— Только бы мне ангельский чин принять, — повторяла Аглаида, когда бывала у Пульхерии. — Трудно, баушка?

— Ох, трудно, милушка... Малый венец трудно принимать, а большой труднее того. После малого пострижения запрут тебя в ке-

лью на шесть недель, пока у тебя не отрастут ангельские крылья, а для схимницы вдвое дольше срок-то. Трудно, голубушка, и страшно... Ежели в эти шесть недель не отрастишь крыльев, так потом уж никогда они не вырастут... Большое смущение бывает.

Собственно жизнь в скиту у матери Енафы мало чем разнилась от мирской, кроме скитского вечернего правила да утренней службы. В свободное время скитницы пряли лен или шерсть, ткали и шили, убирались по хозяйству и готовили свою скитскую еду. День шел за днем с томительным однообразием, особенно зимой, а летом было тяжелее, потому что скитницы изнывали в своем одиночестве, когда все кругом зеленело, цвело и ликовало. Черноризица Аглаида была рада такой жизни, если бы молитвенный покой скитской жизни не нарушался постоянными наездами отъинуд. То какие-то проезжие сибирские старцы завернут, то свои скитские наставники, то разные милостивцы, которые сами развозили по скитам подаяние, то совсем неизвестные люди или прямо бродяги. Не любила Аглаида этих наездов и обыкновенно никому

не показывалась: уйдет куда-нибудь и спрячется. Зато мать Енафа была радехонька каждому новому человеку и ублажала каждого встречного.

— У нас, у скитских, побольше делов-то, чем у мирских, — говорила она иногда, точно оправдываясь перед Аглаидой. — В другой раз хоть разорваться, так в ту же пору.

О делах Енафы черноризица Аглаида имела неясное представление и даже как-то не доверяла им. Просто мать Енафа важность на себя накидывает... Да и смиренный Кирилл давно бы проболтался, если бы что было. Живя два года в скиту, Аглаида знала этого смиренного Заболотского инока не больше, чем когда увидала его в первый раз. Он оставался для нее живою загадкой. Она даже не знала, где он жил. Инок то неожиданно появлялся, то еще неожиданнее исчезал. Ясно было одно, что мать Енафа держала его в черном теле. Секрет ее власти мог быть и в ее собственном прошлом и в настоящем ее двух дочерей. Аглаида даже не пыталась узнать, что и как, да и какое ей дело до Кирилла? Мать Енафа пригрела ее в несчастии, и получерничка

Аглаида относилась к ней с покорностью и уважением.

— Ты осудил и грех на тебе, — часто говорила мать Енафа, предупреждая пытливость и любопытство своей послушницы. — Кто что сделал, тому и каяться... Знаемый грех легче незнаемого, потому как есть в чем каяться, а не согрешишь — не спасешься.

Вернувшись с Самосадки, Аглаида привезла с собой и свою старую тоску, которая заполоняла ее скитские мысли, как почвенная вода. Поднялось и то, что казалось уже забытым и похороненным. И никогда не уйти ей от этих мирских мыслей, пока не примет настоящего пострижения. Только бы скорее все, а то одна мука... Под шапочкой иноки с нашитыми на ней белым восьмиконечным крестом и адамовой головой она точно хотела спрятаться от того мира, который продолжал тянуть ее к себе, как страшный призрак, как что-то роковое. Вон мастерица Таисья обошлась и без иночества, но на то она и Таисья.

Глава 48

Аграфена приехала в скиты осенью по первопутку, и в течение двух лет мать Енафа

никуда не позволяла ей носу показать. Этот искус продолжался вплоть до поездки в Самосадку на похороны Василисы Корниловны. Вернувшись оттуда, мать Енафа особенно приналегла на свою черноризицу: она подготовляла ее к Петрову дню, чтобы показать своим беспоповцам на могилке о. Спиридония. Аглаида выучила наизусть «канун по единоумершем», со всеми поклонами и церемониями древлего благочестия.

— Мы им покажем, как говорят кануны, — грозилась мать Енафа в воздушное пространство и даже сжимала кулаки. — Нонче и на могилках-то наши же беспоповцы болтают кое-как, точно омморошные. Настоящие-то старики повымерли, а теперешние наставники сами лба перекрестить по-истовому не умеют. Персты растопыривают и щелчком молятся... Поучись у нашей Пульхерии, Аглаидушка: она старину блюдет неукоснительно.

Эта ревность сводилась, главным образом, на то, чтобы подкузьмить мать Фаину с ее рябою головщицей. Аглаида могла огорчаться про себя, а спорить не смела: мать Енафа возражений не принимала и осудила бы за непо-

корность. Да и кто она такая, Аглаида, чтобы судить других?.. Она покорно долбила свои кануны и слушалась каждого слова матери Енафы. С последним зимним путем скиты разобщались с остальным миром до Петрова дня, — горами и болотами весной не было проезжей дороги. В Мурмос приходилось попадать через раскольничью деревню Красный Яр, а этот объезд составлял верст полтораста. Болота просыхали к Петрову дню, так что из скитов кое-как можно было пробраться на могилку к о. Спиридонию. Лучшим вожаком служил смиренный инок Кирилл, который знал все тропы и едва заметные «сакмы».[395]

Весна нынче выпала поздняя, а снега были глубокие. На горах снег пролежал вплоть до Николы вешнего, а горные речонки играли двумя неделями позже. Мать Енафа наложила на себя нарочитую эпитимию, чтобы хоть немного спустить свою вдовью толщину. Трудно ей было выносить такой искус, но идти с красною рожей на могилку к о. Спиридонию тоже не годится. Наберется там много народу из Ключевского, с Мурмоса и Самосадки

и как раз осудят, особенно рядом с смиренницею Таисьей да сухою Фаиной. Грешная плоть вообще доставляла матери Енафе постоянные неудобства, и она ненавидела свое цветущее здоровье. Еда у ней была, как у хорошего пильщика, а сон мертвый, — на котором боку легла, на том и встала. Не раз случалось так, что мать Енафа читает свое скитское правило, сделает земной поклон, припадет головой к подрушнику да так и заснет.

— От крови голову обносит, — объясняла она, вздыхая. — Сырая я женщина, вот главная причина.

Вся сила заболотских скитов заключалась в матери Пульхерии, а мать Енафа только эксплуатировала эту популярность. Бывавшие в Заболотье милостивцы не удостаивались видеть великую подвижницу. Все делалось через мать Енафу, умевшую только одно: ладить с разными милостивцами, питателями и христолюбцами.

Хорошо весной в скитах. Кругом все зелено. Каждая былинка радуется. Мохнатенькая гора до самой вершины поросла сосняком и ельником, как шапка. В жаркие дни здесь бы-

ло настоящее раздолье, а к ключику, выбегавшему с полгоры, приходили пить студеную воду олени и дикие козы. Их никто не трогал, и пугливый зверь не боялся человека. Ключик на Мохнатенькой славился, как святой: около него спасался Паисий, прежде чем ушел на Нудиху. Тихо в лесу, как слеза сочится светлая горная вода, и Аглаида проводила в святом месте целые дни. Вот бы хорошо где поставить себе келейку, если бы не был близко скит матери Енафы. Разгуливая по лесу, Аглаида против воли уносилась мыслями на берег р. Березайки, где у брательников Гущиных был лучший покос. В страду у них была не работа, а веселье. В восемь кос выходили на луг. Рядом страдовал Никитич с сестрою Таисьей. У них своей силы недоставало, так прихватывали кого-нибудь из пеньковских бобылей или подсобляли Никитичу свои доменные летухи да засыпки. Мать Енафа никакой скотины не держала, и Аглаида невольно жалела засыхавшую на корню высокую траву, которая стояла выше пояса. Некошенные были места, и везде торчали сухие медвежьи дудки. Под Ильин день, когда заводская стра-

да была в полном разгаре, Аглаида особенно сильно тосковала: ее так и тянуло поработать, а работы нет.

Незадолго до Петрова дня объявился в скитах неизвестно где пропадавший инок Кирилл.

— Мать Фаина прошла к Спиридонию, — сообщил он Енафе под секретом.

— Што больно поторопилась?

— Ее дело...

— Чего-нибудь замышляет эта Фаина... Поди, на Самосадку пробредет, а то и на Ключевской. Этакая непоседа...

— Не наше дело...

— С Таисьей у них какие-нибудь делишки завелись. Не иначе...

— Сам-пят прошла она: Капитолина с ней, две старицы да два старца.

— С Анбаша старцы-то?

— Один с Анбаша, а другой с Красного Яра.

Это известие взволновало мать Енафу, хотя она и старалась не выдавать себя. В самом деле, неспроста поволоклась Фаина такую рань... Нужно было и самим торопиться. Впрочем, сборы были недолгие: собрать ко-

томки, взять палки в руки — и все тут. Раньше мать Енафа выходила на могилку о. Спиридония с своими дочерьми да иноком Кириллом, а теперь захватила с собой и Аглаиду. Нужно было пройти пешком верст пятьдесят.

— Ну, спала я с тела али нет? — спрашивала мать Енафа, когда надела на плечи котомку. — Говори правду, Аглаидушка...

— Как будто с лица-то потоньше стала, матушка.

— А телом-то как?

— Телом-то ровно по прежнему...

— Ох, согрешила я, грешная... Разе вот дорогой промнусь, не будет ли от этого пользы. Денька три, видно, придется вплотную попостовать... Кирилл-то по болотам нас поведет, так и это способствует. Тебе бы, Аглаидушка, тоже как позаботиться: очень уж ты из лица-то бела.

Смиренный заболотский инок повел скитниц так называемыми «волчьими тропами», прямо через Чистое болото, где дорога пролегала только зимой. Верст двадцать пришлось идти мочежинами, чуть не по колена в воде.

В особенно топких местах были проложены неизвестною доброю рукой тоненькие жердочки, но пробираться по ним было еще труднее, чем идти прямо болотом. Молодые девицы еще проходили, а мать Енафа раз десять совсем было «огрузла», так что инок Кирилл должен был ее вытаскивать.

— Ох, смертынька моя пришла! — стонала мать Енафа в отчаянии. — Голову мне обносит...

Из-под Мохнатенькой вышли ранним утром, а заночевали в Чистом болоте, на каком-то острове, о котором знал один Кирилл. Когда все скитницы заснули около огонька, как зарезанные, инок спросил неспавшую Аглаиду:

— Глянется тебе, Аглаида, мой островок?.. Это почище будет местечко, чем у Пульхерии под Нудихой... Самое угодное место.

— Ничего, славное, — равнодушно согласилась Аглаида, занятая своими мыслями.

— Уж сюда, сестрица, никто не проберется... Истинно сказать, что и ворон костей не занашивал.

К могилке о. Спиридония вышли только на

следующий день к вечеру. Мать Енафа так умаялась, что не могла говорить. Место для могилки было выбрано в горах очень красивое: на крутом лесистом увале, подле студеного ключика. Небольшая зеленая еланка точно была расшита яркими шелками. Над самою могилкой росла столетняя ель; в ней на стволе врезан был восьмиконечный медный раскольничий крест. Сама могилка ничего особенного не представляла: небольшой деревянный полусгнивший «голубец» с деревянным крестом, и больше ничего. Незнающий человек мог проехать в десяти шагах и ничего не заметить. Дорога из Самосадки у могилки раздвоялась: одна шла на курень Талый, а другая на Бастрык, образуя «росстань».

До Петрова дня оставались еще целые сутки, а на росстани народ уже набирался. Это были все дальние богомольцы, из глухих раскольничьих углов и дальних мест. К о. Спиридонию шли благочестивые люди даже из Екатеринбурга и Златоуста, шли целыми неделями. Ключевляне и самосадчане приходили последними, потому что не боялись опоздать. Это было на руку матери Енафе: она побаива-

лась за свою Аглаиду... Не вышло бы чего от ключевлян, когда узнают ее. Пока мать Енафа мало с кем говорила, хотя ее и знали почти все.

— Потрудилась, матушка ты наша, — жалели ее богомолки-кержанки. — Тоже не молодое твое дело...

— Какие наши труды, голубушки, — отвечала мать Енафа, — с грехами не знаешь куда деваться.

Мать Фаина пришла на могилку только под самый Петров день. Это была высокая и худая старуха, походившая на сушеную рыбу. С ней была, конечно, и головщица Капитолина. При людях матери встретились, как родные сестры — скитское «разделение» оставалось про себя. Набралось много других скитниц, старичков и старушек, но все они встречались только на таких богомольях, как могилка о. Спиридония. Между собой шла у них такая же «пря», как и у Енафы с Фаиной. Мастерица Таисья пришла в числе последних и сейчас же приобщилась к главным скитским матерям. Черноризицы Аглаиды она точно не замечала, а только издали кивнула ей голо-

вой.

Моленье началось с вечера. Мурмосские, ключевляне, самосадчане молились отдельно и отдельно же «говорили» свои скитские кануны. Задымились кацеи, полилось грустное похоронное пение и раздался неутешный женский плач. Одна партия не успевала кончить канун над могилой о. Спиридония, как ее сейчас же сменяла другая. Вся еланка на росстани была покрыта сплошною толпой богомольцев. Когда солнце село, в разных местах загорелись яркие костры, и моленье продолжалось при огне. В полночь мать Фаина разрешила своей головщице Капитолине читать. Светлый и звенящий голос пронесся в воздухе, как струя яркого света, и шумевшая толпа стихла. С рыдающими нотами и высокими переливами этот голос производил на всех чарующее впечатление. Именно этого скитского чтения и ждала толпа. Черноризица Аглаида слушала знаменитую головщицу с замиранием сердца: у ней захватывало дух от волнения. Где же ей, Аглаиде, состязаться с анбашскою головщицей, когда ее душили слезы! Мать Енафа заметила произведенное Ка-

питолиной впечатление, отвела Аглаиду в сторону и сказала:

— Слышала, как анбашские говорят канун?.. А мы им все-таки нос утрем.

Капитолина читала до самого света, пока небо не посерело. Под горой, как молоко, стоял густой туман. Холодная горная ночь заставляла вздрагивать. Огни потухли. Народ не ложился спать. Когда анбашские кончили, выступили заболотские. Инок Кирилл поставил перед голубцем складной аналой, Енафа сама затеплила свои скитские свечи и толкнула оробевшую Аглаиду к аналою. Напротив Аглаиды за могилкой стояла мать Фаина и не сводила с нее глаз: слух о новой головщице облетел уже все скиты. Аглаида перекрестилась и начала «говорить» канун. Сначала у ней голос дрогнул, но потом окреп и разлился в утреннем воздухе, точно серебро. Она читала ровно и покойно, и каждая нота звучала чарующею женскою нежностью. Певучая страстность и рыдавшие переливы анбашской головщицы сменились верующим спокойствием, точно разлилась широкая многоводная река... Особенно хороши были полные

низкие ноты, когда Аглаида закрывала глаза. Кержанки-богомолки облепили могилку, как пчелы, и с изумлением смотрели прямо в рот новой головщице.

— Матушка ты наша, касаточка... Ангельский голосок!..

Инок Кирилл и мастерица Таисья слушали издали. Таисья точно застыла и стояла, как деревянная. Инок Кирилл, наконец, не вытерпел и, толкнув ее локтем, прошептал:

— Какова птичка завелась, Таисьюшка? Соловьем разливается...

Таисья посмотрела какими-то удивленными глазами на Кирилла и ничего не ответила. Она еще с вечера все прислушивалась к чему-то и тревожно поглядывала под гору, на дорогу из Самосадки, точно поджидала кого. Во время чтения Аглаиды она первая услышала топот лошадиных копыт.

В тумане из-под горы сначала показался низенький старичок с длинною палкой в руке. Он шел без шапки, легко переваливаясь на своих кривых ногах. Полы поношенного кафтана для удобства были заткнуты за опояску. Косматая седая борода и целая шапка се-

дых волос на голове придавали ему дикий вид, а добрые серые глаза ласково улыбались.

— Да ведь это Гермоген! — как-то ахнул смиренный Кирилл.

— Какой Гермоген? Перекрещенец?

— Он самый... Из Златоуста.

Таисья даже попятилась от такой неожиданности. Златоустовские поморцы-перекрещенцы не признавали о. Спиридония за святого и даже смеялись над ним, а тут вдруг выкатил сам Гермоген, первый раскольщик и смутьян... Чуяло сердце Таисьи, что быть беде! За Гермогеном показалась из тумана голова лошади, а на ней ехал верхом Макар Горбатый.

— Вот так мечтание! — прошептал инок Кирилл, прячась за Таисью.

Но добрые серые глаза Гермогена уже отыскали его в тысячной толпе. Старик прямо прошел к Кириллу и, протягивая руку, проговорил:

— Здорово, сибирский кот...

— Ты бы шел своею дорогой, Гермоген, — огрызнулся Кирилл, пряча свою руку. — Не туда ты попал... Уходи подобру-поздорову, от-

кудова пришел.

— Мне везде дорога.

Старик посмотрел на Таисью, на других богомолок и, улыбнувшись, прибавил:

— Баб обманываете... Ишь сколько их набралось: как пчелки на мед налетели, милые.

Аглаида уже дочитывала свой канун, когда по толпе пробежал ветром общий шепот. Ее точно что кольнуло, и голос порвался. Она слышала конский топот и не смела оглянуться, как птица, которую в траве накрыла охотничья собака. Смущение, произведенное в толпе появлением вершника, быстро прошло, когда ключевляне узнали своего лесообъездчика. А Макар стоял на одном месте и широко раскрытыми глазами смотрел на черноризицу Аглаиду: он узнал голос Аграфены. Так вот она где... Вся краска сбежала с лица, и только глядели одни глаза, точно они хотели сжечь новую головщицу. Под этим упорным взглядом Аглаида повернула свое лицо и тихо вскрикнула... Произошел переполох. Мастерица Таисья бросилась к Аглаиде, схватила ее за руку и скрылась с ней в толпе. Макара окружили несколько мужиков и угрожающе

ждали, что он будет делать.

— Што, испугались? — говорил Гермоген, выступая вперед. — Кому вы здесь молитесь, слепцы?

— Бей выкреста! — пронеслось в толпе. — Это поморский волк пришел...

— Вас здесь много, а я один, — спокойно ответил старик.

Ему не дали кончить, — как-то вся толпа хлынула на него, смяла, и слышно было только, как на земле молотили живое человеческое тело. Силен был Гермоген: подковы гнул, лошадей поднимал за передние ноги, а тут не устоял. Макар бросился было к нему на выручку, но его сейчас же стащили с лошади и десятки рук не дали пошевельнуться. Перепуганные богомолки бросились в лес, а на ростани остались одни мужики.

— Порешим его, собаку! — опять крикнул неизвестный голос.

Улучив момент, Макар вырвался, и свалка закипела с новым ожесточением. «Катай мочеганина и собаку-выкреста!» — гудела уже вся толпа. Едва ли ушли бы живыми из этого побоища незваные гости, если бы не подо-

спел на выручку остервенившийся инок Кирилл.

— Што вы делаете, отчаянные? — крикнул он, бросаясь в толпу с своим иноческим посохом. — Креста на вас нет...

Это заступничество заставило толпу отхлынуть. Гермоген лежал на траве без движения. Макар вытирал рукавом свое окровавленное лицо.

— Ну-ко, тащи старичка к ключику, — говорил Кирилл, поднимая голову Гермогена, болтавшуюся по-мертвому. — Еще дышит, кажись.

У ключика, который был в десяти шагах, старика облили холодною водой, и он сейчас же открыл глаза.

— Жив еще, дедушка? — спрашивал Кирилл, вытирая ему лицо каким-то бабьим платком. — Ну, слава богу... Макарушка, ты его вот на бок поверни, этак... Ах, звери, как изуродовали человека!

Лицо у Гермогена быстро заплывало багровою опухолью, верхняя губа оказалась рассеченной, но старик пересилил себя, улыбнулся и проговорил:

— Слепцы… Не меня били, а свою глупость.

Смирение Гермогена и его стоицизм подействовали на толпу в обратном смысле. Несколько человек отделилось и подошло к ключику сначала из любопытства.

— Звериный образ на вас на всех, — кротко заговорил Гермоген, обращаясь к ним. — Себя-то пожалейте, слепые.

Толпа росла у ключика, а Гермоген продолжал свое. Его слова производили впечатление. Какой-то здоровенный мужик даже повалился ему в ноги.

— Прости, дедушка… — бормотал он. — Это я тебя в губу-то саданул…

— Бог тебя простит, милый человек.

Участие к поморцу росло с каждым мгновением, и Кирилл струсил.

— Эй, вы, чего лезете? — крикнул он на толпу. — Не вашего это ума дело… Да и ты, Гермоген, держал бы лучше язык за зубами.

Когда свалка кончилась, бабы вышли из лесу и смотрели в сторону ключика. Первая насмелилась подойти к Гермогену мать Енафа. Наклонившись к старику, она проговорила:

— Убить тебя мало, антихрист... Уходи отсюда, коли жив хочешь быть.

Мастерица Таисья уговаривала в это время Макара, который слушал ее с опущенною головой. Она усадила его на лошадь, как это было в Кержацком конце, а сзади седла подсадила избитого поморца.

— Ну, с богом теперь! — говорила Таисья, поворачивая лошадь к Самосадке.

Глава 49

Случившийся на могилке о. Спиридония скандал на целое лето дал пищу разговорам и пересудам, особенно по скитам. Все обвиняли мать Енафу, которая вывела головщицей какую-то пропащую девку. Конечно, голос у ней лучше, чем у анбашской Капитолины, а все-таки и себя и других срамить не доводится. Мать Енафа не обращала никакого внимания на эти скитские пересуды и была даже довольна, что Гермоген с могилки о. Спиридония едва живой уплел ноги.

— Это уж, видно, отец Спиридоний посмеялся над выкрестом, — говорила она. — В святое место да с поганою рожей пришел...

Аглаида молчала и ходила, как в воду опу-

щенная. Она видела Макара только издали, как во сне, но и этого было достаточно, чтобы поднять в душе все старое. Вместе с тем картина того, как незлобиво перенес Гермоген обиду, произвела на нее неизгладимое впечатление. Это был настоящий мученический подвиг, и Аглаида часто думала про этого удивительного старца. На нее нападали иногда сомнения в правоте собственного иноческого жития, которое только тем и отличалось от мирского, что скитские ничего не делали да молились от свободности. С своими сомнениями Аглаида всегда шла к матери Пульхерии; так было и теперь. Она рассказала старухе все, как на духу, и горько плакалась на свою нетвердость.

— Мне его жаль, Макара-то, — шептала Аглаида, заливаясь слезами. — Неотступно стоит он передо мной... и Гермоген тоже... «Слепые, говорит, вы все... Жаль мне вас!»

— Мечтание это, голубушка!.. Враг он тебе злейший, мочеганин-то этот. Зачем он ехал-то, когда добрые люди на молитву пришли?.. И Гермогена знаю. В четвертый раз сам себя окрестил: вот он каков человек... Хуже нико-

нианина. У них в Златоусте последнего ума решились от этих поморцев... А мать Фаина к поповщине гнет, потому как сама-то она из часовенных.

Беседа с Пульхерией всегда успокаивала Аглаиду, но на этот раз она ушла от нее с прежним гнетом на душе. Ей чего-то недоставало... Даже про себя она боялась думать, что в скитах ей трудно жить и что можно устроиться где-нибудь в другом месте; Аглаида не могла и молиться по прежнему, хотя и выстаивала всякую службу.

А лето шло уже на исход. После Ильина дня добрые люди считают уже осень. Солнышко поднимается позднее и ложится раньше. В горах начинают перепадать холодные утренники. Летние алые цветки поблекли, а трава под ногой шелестит по-мертвому... Лесная птица давно уже птенцов вывела на ягоду. На Мохнатенькой много было таких выводков. Одних поляшей[396] гнезд больше десяти. Непуганная птица подпускала близко, и Аглаида по целым часам любовалась, как старые польшошки ходили с гнездом по ягодам. Ведь птица, а только-только не скажет... По-

своему-то между собой тоже говорят, особенно мать с детьми. Рано по утрам два выводка приходили пить к святому ключу. Впереди бегут птенцы, а мать за ними. Таково-то все хорошо да умненько у этих птиц... Наблюдая птичью жизнь, Аглаида невольно завидовала им, — никакому творению так хорошо не живется. Которая птица перелетная, так той и того лучше: сегодня здесь, завтра там. Прямо сказать: господняя тварь. Утром еще солнышко не взошло, а птичка уж проснулась и славит... И никакого греха у птицы нет: корм она у других не отнимает, деточек воспитывает, а самая чистая птица все парами — лебедь с лебедушкой, журавль с журавлихой, голубь с голубкой, скворчик с скворчихой. Зверь — тот хуже, а человек хуже всех зверей. Недаром, когда человек идет по лесу, всякая тварь от него прячется, и даже лютый медведь уходит. Любила Аглаида ходить по лесу одна и раздумывать свои думы. Так-то это хорошо, когда один останешься...

Раз после первого спаса шла Аглаида по Мохнатенькой, чтобы набрать травки-каменки для матери Пульхерии. Старушка недомо-

гала, а самой силы нет подняться на гору. Идет Аглаида по лесу, собирает траву и тихонько напевает раскольничий стих. У самого святого ключика она чуть не наступила на лежавшего на земле мужика. Она хотела убежать, но потом разглядела, что это инок Кирилл.

— Что ты тут делаешь? — спросила Аглаида.

— Проходи дальше... — грубо ответил Кирилл и отвернулся.

Аглаиде показалось, что он плакал. О чем же мог убиваться беззаботный скитский инок? Аглаида отошла несколько шагов и остановилась.

— Чего встала-то? — точно зарычал инок. — Сказано — проходи.

Сделав несколько шагов вперед, Аглаида остановилась за деревом и стала смотреть, что будет делать Кирилл. Он лежал по прежнему, и только было заметно, как вздрагивало все его тело от подавленных рыданий. Какая-то непонятная сила так и подталкивала Аглаиду подойти поближе к Кириллу. Шаг за шагом она опять была у ключа.

— Кирилл...

Старец быстро сел и удивленными глазами посмотрел на Аглаиду, точно не узнал ее. Все лицо у него опухло от слез, но он не прятал его, а только смотрел на непрошенную гостью исподлобья.

— Не подходи, говорю... — проговорил Кирилл, не спуская глаз с Аглаиды. — Не человек, а зверь перед тобой, преисполненный скверны. И в тебе все скверна, и подошла ты ко мне не сама, а бес тебя толкнул... Хочешь, чтобы зверь пожрал тебя?

Аглаида давно уже не боялась Кирилла и спокойно села на траву рядом с ним.

— О чем ты плакал? — спросила она тихим голосом, глядя ему прямо в глаза.

— Я?.. Как мне не плакать, ежели у меня смертный час приближается?.. Скоро помру. Сердце чует... А потом-то што будет? У вас, у баб, всего один грех, да и с тем вы не подсобились, а у нашего брата мужика грехов-то тьма... Вот ты пожалела меня и подошла, а я што думаю о тебе сейчас?.. Помру скоро, Аглаида, а зверь-то останется... Может, я видеть не могу тебя!..

— Перестань ты, Кирилл, неподобные слова говорить, — спокойно уговаривала его Аглаида. — Иночество скоро приму, и нечего мне тебя бояться.

— Да ведь мне-то обидно: лежал я здесь и о смертном часе сокрушался, а ты подошла — у меня все нутро точно перевернулось... Какой же я после этого человек есть, что душа у меня коромыслом? И весь-то грех в мир идет единственно через вас, баб, значит... Как оно зачалось, так, видно, и кончится. Адам начал, а антихрист кончит. Правильно я говорю?.. И с этакою-то нечистою душой должен я скоро предстать туда, где и ангелы не смеют взирати... Этакая нечисть, погань, скверность, — вот што я такое!

Старец Кирилл опять упал на траву и зарыдал «истошным голосом». Аглаида сидела неподвижно, точно прислушиваясь к тому, что у ней самой делалось на душе. Ведь и она то же самое думала про себя, что говорил ей сейчас плакавший инок.

— Ты еще все не ушла? — удивился Кирилл, поднимаясь.

— Нет.

— Так ты вот какая... Мало тебе того, что я сказал? Мало? Хочешь знать и то, чего тебе не следует знать?.. Два года боялась меня, а теперь не боишься? Так я же тебе все скажу... Мастерицу Таисью помнишь: я жил с ней, когда она исправу принимала в скитах. Мать Енафа жила со мной в то же время, а потом я с Федосьей, да с Акулиной запутался... Мало тебе этого?.. У меня в Мурмосе есть одна вдова-солдатка, на Анбаше — головщица Капитолина, в Красном Яру — целых три сестры... Лютый я зверь, — вот что я тебе скажу!.. Не страшно тебе глядеть-то на меня?

Аглаида молчала, опустив голову. После этого приступа старец Кирилл точно изнемог и несколько времени тоже молчал, а потом начал говорить, не обращаясь ни к кому, точно Аглаиды и не было совсем. Он рассказывал ей всю свою жизнь, все грехи, все помыслы и тайные желания, точно на исповеди. Да, он искал истины, а находил везде один только грех. Душа изболела в грехе, изнемогло тело, а впереди страх и скрежет зубовный. Близится день судный, народится льстец всескверный, а спасения нет. И в лесу не уйдешь от

греха, потому что мы его с собой в лес-то приносим.

— Два года я тебя подстерегал, Аглаида, чтобы сотворить страм, — каялся Кирилл. — Ни молитва, ни крест, ни слезы, ничто бы не удержало... Вот и теперь ты сидишь рядом со мной, а я... нет, я не могу... Рука у меня не поднимается на тебя!.. Как взглянешь мне прямо в глаза, так я и изнемогу, а отойду — ненависть у меня к тебе. Точно так бы и разорвал тебя на мелкие части... Помнишь, как я тогда тебя в первый-то раз с Самосадки слепую вез в скиты? Нарочно в балаган на Бастрык завез, и господь тебя сохранил от моей лютости... Везу тебя тогда, а у самого сердце огнем горит. А заговорила, взглянула — сердце и упало... Проклятый я человек, Аглаида! Нет мне прощения...

— Не ладно ты говоришь, Кирилл, — ответила Аглаида, качая головой. — Не пойму я тебя што-то... Лишнее на себя наговариваешь. Не сужу я тебя, а к слову сказала...

— Мало тебе, значит, и этого? А видела тогда на росстани старца Гермогена?

— Видела.

— Ну, так я от него сейчас… В большое он сомнение меня привел. Чуть-чуть в свою веру меня не повернул… Помнишь, как он тогда сказал: «слепые вы все»? Слепые и выходит!

Этого Аглаида уже не могла вынести: вскочила и ушла, и даже ни разу не оглянулась на старца.

Часть V

Глава 50

Вместо Палача управителем на Крутяше был назначен меднорудянский смотритель Ефим Андреич. Он жил в Пеньковке, где у него был выстроен собственный деревянный домик на пять окон. В своей новой должности Ефим Андреич имел право занять казенную квартиру Палача на самом руднике, что он и сделал. Правда, жаль было оставлять свой домишко, но, с другой стороны, примиряющим обстоятельством являлась квартирная плата, которую Ефим Андреич будет получать за свой дом, да и новому рудничному смотрителю где-нибудь надо же приютиться.

— Ну, мать, как ты полагаешь своим бабьим умом? — спрашивал Ефим Андреич

свою старушку жену.

— Уж и не знаю, Ефим Андреич...

Парасковья Ивановна была почтенная старушка раскольничьего склада, очень строгая и домовитая. Детей у них не было, и старики жили как-то особенно дружно, точно сироты, что иногда бывает с бездетными парами. Высокая и плотная, Парасковья Ивановна сохранилась не по годам и держалась в сторонке от жен других заводских служащих. Она была из богатой купеческой семьи с Мурмоса и крепко держалась своей старой веры.

— Ну, так как, мать? — спрашивал Ефим Андреич. — За квартиру будем получать пять цалковых, а в год-то ведь это все шестьдесят. Ежели и четыре, так и то сорок восемь рубликов... Не баран чихал, а голенькие денежки!

Раскинули старики умом и порешили переехать на казенную квартиру. Главное затруднение представлялось в разной домашности: и корова Пестренка, и старый слуга Гнедко, и курочки, — всех нужно было тащить за собой да устраивать на новом месте. Да и гнезда своего старого жаль... Тоже двадцать лет прожито, и вдруг переезжай. Но же-

лание получить четыре рубля в месяц за квартиру пересилило все остальные соображения. Когда таким образом вопрос был решен, у Ефима Андреича точно что повихнулось на душе, — старик вдруг затосковал... Но дело сделано, и ворочаться не приходилось. Старики скрепя сердце переехали из Пеньковки на самый рудник и поселились в господской квартире.

Случилось странное дело. Ефим Андреич выслужил на медном руднике тридцать пять лет и был для рудниковой вольницы настоящею грозой. «Уж Ефима Андреича не обманешь, Ефим Андреич достигнет, потому как на два аршина под землей видит», — таково было общественное мнение подчиненной массы. Работал старик, как машина, с аккуратностью хорошей работы старинных часов: в известный час он уже будет там, где ему следует быть, хоть камни с неба вались. Рудничное дело не заводское: не остановишь. Крутяш и праздников не знал, как не знал их и Ефим Андреич: он в светлый день спускался два раза в шахту, как в будни, и в рождество, и в свои именины. Сохрани бог упустить шах-

ту, да тогда вся бы Пеньковка по миру пошла, пока «отводились» бы с упущенною шахтой. Вон на Кукарских заводах этак-то «ушла шахта», так девять человек рабочих утонуло, да воду паровыми машинами полгода отливали. Больших тысяч стоило, чтобы «отводиться» с шахтой. Когда Ефим Андреич был простым смотрителем, он знал только свое дело и не боялся за шахту: осмотрит все работы, задаст «уроки», и чист молодец. Сделавшись медно-рудянским управителем, старик точно что потерял, а прежде всего потерял собственный покой. Дело велось, как и раньше, а Ефим Андреич не доверял даже собственной работе: так, да не так. Обходя подземные галереи, старик косился на каждую стойку, поддерживавшую своды, подолгу прислушивался к работе паровой машины, откачивавшей воду, к далекому гулу подземной работы и уходил расстроенный. Случись что — он один в ответе... И рабочие стали относиться к нему как-то иначе, не так, как прежде, точно не доверяли ему, а в таком ответственном деле именно доверие прежде всего. Ночью Ефим Андреич лежит на кровати и одним ухом все прислуши-

вается, как пыхтит паровая машина, и все ему кажется что-то не так и чего-то вообще недостает. В конце концов старик начал просто бояться неизвестной, но неминуемой грозы, похудел, осунулся и сделался крайне раздражительным и недоверчивым. Парасковья Ивановна тоже тяжело вздыхала, глядя на мужа. Что же дальше-то будет, ежели он и сейчас места себе не находит?

Дело кончилось тем, что Ефим Андреич раз за вечерним чаем сказал жене:

— Паша, давно я тебе хочу сказать... одним словом, наплевать!

Парасковья Ивановна с полуслова знала, в чем дело, и даже перекрестилась. В самом-то деле, ведь этак и жизни можно решиться, а им двоим много ли надо?.. Глядеть жаль на Ефима Андреича, как он убивается. Участие жены тронуло старика до слез, но он сейчас же повеселел.

— Ну его к ляду, управительское-то место! — говорил он. — Конечно, жалованья больше, ну, и господская квартира, а промежду прочим наплевать... Не могу, Паша, не могу своего карактера переломить!.. Точно вот я

другой человек, и свои же рабочие по-другому на меня смотрят. Вижу я их всех наскрозь, а сам как связанный.

— Штой-то, Ефим Андреич, не на пасынков нам добра-то копить. Слава богу, хватит и смотрительского жалованья... Да и по чужим углам на старости лет муторно жить. Вон курицы у нас, и те точно сироты бродят... Переехали бы к себе в дом, я телочку бы стала выкармливать... На тебя-то глядеть, так сердечушко все изболелось! Сам не свой ходишь, по ночам вздыхаешь... Долго ли человеку известись!

Старики тут же за чаем и решили, что Ефим Андреич откажется от управительства. Ну его к ляду и с господскою квартирой вместе!

— Знаешь, Паша, что я сделаю? — говорил развеселившийся Ефим Андреич. — Поеду к Петру Елисеичу и попрошу, штобы он на мое место управителем заступил.

— Не пойдет он, Ефим Андреич, — обидел его Лука Назарыч, да и место рудникового управителя ниже заводского.

— А вот и пойдет... Заводская косточка, не

утерпит: только помани. А что касаемо обиды, так опять свои люди и счеты свои... Еще в силе человек, без дела сидеть обидно, а главное — свое ведь кровное заводское-то дело! Пошлют кого другого — хуже будет... Сам поеду к Петру Елисеичу и буду слезно просить. А уж я-то за ним — как таракан за печкой.

Ехать на Самосадку для Ефима Андреича было чем-то вроде экспедиции к северному полюсу. Дело в том, что Ефим Андреич только раз в жизни выезжал с Ключевского завода, и то по случаю женитьбы, когда нужно было отправиться к невесте в Мурмос. Дальше Мурмоса старик не ездил и даже не бывал на Самосадке, до которой всего было два часа езды. И рудник не приходилось оставлять, да и сам по себе Ефим Андреич был большой домосед. Понятно, какой для него предстоял подвиг, и он собирался целый месяц. Несколько раз с вечера он заказывал, что выедет завтра поутру, наступало утро — и поездка откладывалась. Легко сказать — уехать, а тут без тебя и шахта уйдет, и Парасковья Ивановна захворает, и всякая другая беда приключится.

Великое событие отъезда Ефима Андреича

совершилось по последнему санному пути. Он прощался с женой, точно ехал на медвежью охоту или на дуэль. Мало ли что дорогой может приключиться!

— Ну, Паша, ежели я завтра утром не вернусь, так уж ты тово... — наказывал старик упавшим голосом. — Эх, до чего дожил: вот тебе и господская квартира!

Расстроенная прощаньем, Парасковья Ивановна даже всплакнула и сейчас же послала за мастерицей Таисьей: на людях все же веселее скоротать свое одиночество. Сама Парасковья Ивановна придерживалась поповщины, — вся у них семья были поповцы, — а беспоповщинскую мастерицу Таисью любила и частенько привечала. Таисья всегда шла по первому зову, как и теперь.

— Проводила я своего-то Ефима Андреича, — торжественно заявила Парасковья Ивановна. — На Самосадку укатил... Не знаю, вернется жив, не знаю — не жив. Тоже не близкое место.

За чаем старушка рассказала Таисье все свое горе, а Таисья долго и участливо качала головой.

— Ну, а ты как думаешь? — пытала ее Парасковья Ивановна. — Правильно он рассудил, Ефим-то Андреич?

— В самый раз, Парасковья Ивановна! — поддакивала Таисья.

— Уж мы всяко думали, Таисьюшка... И своего-то старика мне жаль. Стал садиться в долгушку, чтобы ехать, и чуть не вылез: вспомнил про Груздева. Пожалуй, говорит, он там, Груздев-то, подумает, что я к нему приехал.

У Парасковьи Ивановны были старые счеты с Груздевыми, которых она вообще недолюбливала и даже избегала о них говорить. Причина этой неприязни таилась в семейной истории. Дело в том, что отец Парасковьи Ивановны вел торговлю в Мурмосе, имел небольшие деньги и жил, «не задевая ноги за ногу», как говорят на заводах. Семья слыла за богатую, тоже по заводским расчетам. Но под старость отец Парасковьи Ивановны проторговался, и вся семья это несчастие объясняла конкуренцией пробойного самосадского мужика Груздева, который настоящим коренным торговцам встал костью в горле. Так это

дело и тянулось: Груздев разорил — и все тут. Груздев считал себя обиженным этими наговорами и сторонился от старинного заводского полукупечества.

— Распыхался уж очень Самойло-то Евтихыч, — прибавила Парасковья Ивановна точно в свое оправдание. — Не под силу дерево заломил.

Таисья не возражала, а только, благочестиво опустив глаза, легонько вздохнула.

А Ефим Андреич ехал да ехал. Отъедет с версту и оглянется: что-то теперь Парасковья Ивановна поделывает? Поди, уж самовар наставила и одна у самовара посиживает... Дорога ему казалась невыносимо длинной.

— Дожил, нечего сказать, — ворчал он, кутаясь в шубу. — На старости лет довелось мыкаться по свету.

Петр Елисеич, конечно, был дома и обрадовался старому сослуживцу, которого не знал куда и посадить. Нюрочка тоже ластилась к гостю и все заглядывала на него. Но Ефим Андреич находился в самом угнетенном состоянии духа, как колесо, с которого сорвался привод и которое вертелось поэтому зря.

— По делу приехал, по самому казусному делу, — коротко объяснил он, занятый своими мыслями.

— Дело не уйдет, а вот сначала чайку напьемся.

Но и чай не пился Ефиму Андреичу, а после чая он сейчас же увел Петра Елисеича в кабинет и там объяснил все дело. Петр Елисеич задумался и не решался дать окончательный ответ.

— И думать нечего, — настаивал Ефим Андреич. — Ведь мы не чужие, Петр Елисеич... Ежели разобрать, так и я-то не о себе хлопочу: рудника жаль, если в чужие руки попадет. Чужой человек, чужой и есть... Сегодня здесь, завтра там, а мы, заводские, уж никуда не уйдем. Свое лихо... Как пошлют какого-нибудь инженера на рудник-то, так я тогда что буду делать?

После долгих переговоров Петр Елисеич условно согласился, и Ефим Андреич несколько успокоился.

— Теперь Парасковья Ивановна спать, поди, уж легла... — говорил за ужином Ефим Андреич с какою-то детскою наивностью. — А я

утром пораньше уеду, чтобы прямо к самовару подкатить.

Но старик не вытерпел: когда после ужина он улегся в хозяйском кабинете, его охватила такая тоска, что он потихоньку пробрался в кухню и велел закладывать лошадей. Так он и уехал в ночь, не простившись с хозяином, и успокоился только тогда, когда очутился у себя дома и нашел все в порядке.

Глава 51

Дело с переездом Петра Елисеича в Крутяш устроилось как-то само собой, так что даже Ефим Андреич удивился такому быстрому выполнению своего плана. Главная сила заключалась в Луке Назарыче, но сердитый старик, видимо, даже обрадовался благоприятному случаю, чтобы помириться с «французом». Палач, сделавшись заводским управителем, начал кутить все чаще и вообще огорчал Луку Назарыча своим поведением. С другой стороны, и Петр Елисеич был рад избавиться от своего вынужденного безделья, а всякое заводское дело он любил душой. Одним словом, все были довольны, и Петр Елисеич переехал в Крутяш сейчас же. Между прочим, живя на

Самосадке, он узнал, что в раскольничьей среде продолжают циркулировать самые упорные слухи о своей земле и что одним из главных действующих лиц здесь является его брат Мосей. Пропаганда шла какими-то подземными путями, причем оказались запутанными в это дело и старик Основа и выкрест Гермоген, а главным образом самосадчане. Выходило так, что Петр Елисеич как будто являлся здесь подстрекателем и, как ловкий человек, действовал через брата Мосея. Молва видела в этом только месть заводскому управлению, отказавшему ему от службы. Иначе зачем ему было переезжать на пристань? Попытка разговорить пристанских не заводить смуты кончилась для него ничем.

— Самосадка-то пораньше и Ключевского и Мурмоса стояла, — повторяли старички коноводы. — Деды-то вольные были у нас, на своей земле сидели, а Устюжанинов потом неправильно записал Самосадку к своим заводам.

В сущности никто ничего не знал, и заводское землевладение является сомнительным вопросом в юридическом смысле, но за ним

стояла громадная давность. Старики уверяли, что у них есть «верная бумага», где все показано, но Петр Елисеич так и не мог добиться увидеть этот таинственный документ. Очевидно, ему свои самосадские не доверяли, действовала какая-то невидимая рука, и действовала очень настойчиво. Прямым следствием этого невыяснившегося еще движения являлось то, что ни на Ключевском заводе, ни в Мурмосе уставной грамоты население еще не подписывало до сих пор, и вопрос о земле оставался открытым.

Переезд с Самосадки совершился очень быстро, — Петр Елисеич ужасно торопился, точно боялся, что эта новая должность убежит от него. Устраиваться в Крутяше помогали Ефим Андреич и Таисья. Нюрочка здесь в первый раз познакомилась с Парасковьей Ивановной и каждый день уходила к ней. Старушка с первого раза привязалась к девочке, как к родной. Раз Ефим Андреич, вернувшись с рудника, нашел жену в слезах. Она открыла свое тайное горе только после усиленных просьб.

— Не могу я жить без этой Нюрочки, —

шептала старушка, закрывая лицо руками. — Точно вот она моя дочь. Даже вздрогну, как она войдет в комнату, и все ее жду.

Это был святой порыв неудовлетворенного материнства, и старики поплакали о своем горе вместе.

Весна в этом году вышла ранняя, и караваны на Самосадке отправлялись «спешкой». Один караван шел заводский «с металлом», а другой груздевский с хлебом. У Груздева строилось с зимы шесть коломенок под пшеницу да две под овес, — в России, на Волге, был неурожай, и Груздев рассчитывал сплавить свой хлеб к самой высокой цене, какая устанавливается весной. Обыкновенно караваны отваливали «близ Егория вешнего», то есть около 23 апреля, а нынче дружная весна подхватила целою неделей раньше. Заводский караван все-таки поспел во-время нагрузиться, а хлебный дня на два запоздал, — грузить хлеб труднее, чем железо да чугун. Впрочем, главною причиной здесь служило и то обстоятельство, что самому Груздеву приходилось бывать на Самосадке только наездом, а его заменял Вася. В великое говенье разнемоглась

Анфиса Егоровна и теперь лежала пластом. Груздев боялся оставить ее, потому что, того гляди, она кончится. Больная тосковала о Самосадке, в которой прожила почти всю жизнь, а Мурмос ей не нравился.

— Поезжай ты, Самойло Евтихыч, на пристань, — упрашивала больная мужа. — Какое теперь время: работа, как пожар, а Вася еще не дошел до настоящей точки.

— Успеется, — отвечал Груздев. — Не первый караван отправляем. Васе показано все, как и што...

— Свой-то глаз не заменишь, Самойло Евтихыч... Я и без тебя поправилась бы. Не первой хворать-то: бог милости пошлет, так и без тебя встану.

У Анфисы Егоровны была одна из тех таинственных болезней, которые начинаются с пустяков. На первой неделе поста она солила рыбу впрок и застудила ноги на погребу. Сначала появился легкий кашель, потом лихорадка и общее недомоганье. В Мурмосе жил свой заводский врач, но Груздевы, придерживаясь старинки, не обратились к нему в свое время, тем более что вначале Анфисе Егоров-

не как будто полегчало. Впрочем, этот светлый промежуток продолжался очень недолго, и к пасхе больная лежала уже крепко, — кашель, лихорадка, бессонница, плохой аппетит. Лечили ее разными домашними средствами свои же старушки.

— Надо доктора позвать, — предлагал Груздев, — как быть-то, ежели нельзя без него?

— Нет, ты уж не обижай меня, — просила больная.

Так дело и тянулось день за днем, а к каравану больная уже чувствовала, что она не жилец на белом свете, хотя этого и не говорила мужу, чтобы напрасно не тревожить его в самую рабочую пору. Анфису Егоровну охватило то предсмертное равнодушие, какое бывает при затянувшихся хронических болезнях. О себе самой она как-то даже и не думала, а заботилась больше всего о сыне: как-то он будет жить без нее?.. Вот и женить его не привел господь, — когда еще в настоящие-то годы войдет? Другою заботой был караван, — ведь чего будет стоить неудачный сплав, когда одной пшеницы нагружено девяносто тысяч пудов да овса тысяч тридцать? На худой конец

тысяч на семьдесят в караване-то... Только под конец больной удалось уговорить мужа отправиться на пристань, а вместо себя послать в Мурмос Васю. Груздеву казалось, что жене лучше, и он отправился на Самосадку с облегченным сердцем.

Заводский караван уже отвалил, а груздевские коломенки еще стояли в прилуке, когда приехал сам хозяин.

— Как вода? — спрашивал Груздев, еще не вылезая из экипажа.

— Высоконько стоит, Самойло Евтихыч, — объяснял главный сплавщик. — С Кукарских заводов подпирают Каменку-то... Ну, да господь милостив!..

— Я сам поплыву... — решил Груздев.

Вася был отправлен сейчас же к матери в Мурмос, а Груздев занялся караваном с своею обычною энергией. Во время сплава он иногда целую неделю «ходил с теми же глазами», то есть совсем не спал, а теперь ему приходилось наверстывать пропущенное время. Нужно было повернуть дело дня в два. Нанятые для сплава рабочие роптали, ссылаясь на отвалившийй заводский караван. Задержка у

Груздева вышла в одной коломенке, которую при спуске на воду «избочило», — надо было ее поправлять, чтобы получилась правильная осадка.

В то самое утро, когда караван должен был отвалить, с Мурмоса прискакал нарочный: это было известие о смерти Анфисы Егоровны... Груздев рассчитывал рабочих на берегу, когда обережной Матюшка подал ему небольшую записочку от Васи. Пробежав глазами несколько строк, набросанных второпях карандашом, Груздев что-то хотел сказать, но только махнул рукой и зашатался на месте, точно его кто ударил.

— Лошадей, — хрипло сказал он Матюшке, чувствуя, как все у него темнеет в глазах.

Так караван и отвалил без хозяина, а Груздев полетел в Мурмос. Сидя в экипаже, он рыдал, как ребенок... Черт с ним и с караваном!.. Целую жизнь прожили вместе душа в душу, а тут не привел бог и глаза закрыть. И как все это вдруг... Где у него ум-то был?

По дороге Груздев завернул в Крутяш, чтобы поделиться своим горем с Петром Елисеичем. Мухин уже знал все и только что собрал-

ся ехать в Мурмос вместе с Нюрочкой.

— Поедем вместе со мной, — упрашивал Груздев со слезами на глазах. — Ничего я не понимаю: темно в глазах...

— Как же я с Нюрочкой буду? — думал вслух Петр Елисеич. — Троим в твоем экипаже тесно... Дома оставить ее одну... гм...

— Скорее, скорее! — торопил Груздев.

Петра Елисеича поразило неприятно то, что Нюрочка с видимым удовольствием согласилась остаться у Парасковьи Ивановны, — девочка, видимо, начинала чуждаться его, что отозвалось в его душе больною ноткой. Дорога в Мурмос шла через Пеньковку, поэтому Нюрочку довезли в том же экипаже до избушки Ефима Андреича, и она сама потянула за веревочку у ворот, а потом быстро скрылась в распахнувшейся калитке.

Всю дорогу до Мурмоса Груздев страшно неистовствовал и совсем не слушал утешений своего старого друга, повторявшего обычные для такого случая фразы.

— А может быть, она не умерла? — повторял Груздев, ожидая подтверждения этой мысли. — Ведь бывают глубокие обмороки... Я

читал в газете про одну девушку, которая четырнадцать дней лежала мертвая и потом очнулась.

Когда Мухин начинал соглашаться относительно обморока, Груздев спорил, что все это пустяки и что смешно утешать его, как маленького ребенка.

— Как несправедливо устроена вся наша жизнь, Петр Елисеич! — сетовал Груздев, несколько успокоившись. — Живешь-живешь, хлопочешь, все чего-то ждешь, а тут трах — и нет ничего... Который-нибудь должен раньше умереть: или муж, или жена, а для чего, спрашивается, столько лет прожили вместе?

— Как же ты рассуждаешь так? — удивлялся Мухин. — Ведь ты человек религиозный...

— Какая наша религия: какая-нибудь старуха почитает да ладаном покурит — вот и все. Ведь как не хотела Анфиса Егоровна переезжать в Мурмос, чуяло сердце, что помрет, а я точно ослеп и на своем поставил.

В доме Груздева уже хозяйничали мастерица Таисья и смиренный заболотский инок Кирилл. По покойнице попеременно читали

лучшие скитские головщицы: Капитолина с Анбаша и Аглаида из Заболотья. Из уважения к хозяину заводское начальство делало вид, что ничего не видит и не слышит, а то скитниц давно выпроводили бы. Исправник Иван Семеныч тоже махнул рукой: «Пусть их читают, ангел мой».

В самый день похорон, — хоронили покойницу ночью, чтобы не производить соблазна, — прискакал с Самосадки нарочный с известием, что груздевский караван разбился. Это грозило полным разорением, а между тем Груздев отнесся к этому несчастию совершенно спокойно, точно дело шло о десятке рублей.

— Деньги — дело наживное, — с грустью ответил он на немой вопрос Петра Елисеича. — На наш век хватит... Для кого мне копить-то их теперь? Вместе с Анфисой Егоровной наживали, а теперь мне все равно...

Глава 52

Мужики, привозившие перед рождеством хлеб, рассказывали на базаре, что знают переселившихся в «орду» ключевлян и даже видели их перед отъездом. Дальше шли раз-

норечивые показания: один говорил, что переселенцы живут ничего, привыкли, а другой — что им плохо приходится и что поговаривают об обратном переселении. Этот слух встревожил родных, и бабы заголосили на все лады про «проклятущую орду». Но потом все стихло, и стали ждать повестки: легкое место сказать, два года с лишним как уехали и точно в воду канули, — должна быть повестка.

Около Николина дня в кабак Рачителихи пришел Морок и заявил:

— Выворотились наши из орды...

— Перестань врать, непутевая башка!

— Верно говорю... И потеха только, што теперь у Горбатых в дому творится!.. Сам-то Тит выворотился «ни с чем пирог»... Дом сыновьям запродал, всякое обзаведенье тоже, а теперь оглобли и повернул. Больно не хвалят орду...

— Да кто не хвалит-то? — накинулась на него Рачителиха. — Ты сам, што ли, видел Тита-то?.. Ну, говори толком!

— Видеть сам не видел, а только верно это самое дело, Дунюшка... Сейчас провалиться, верно!.. Отощали, слышь, все, обносились, об-

ветряли, — супротив заводских страм глядеть.

Все кабацкие завсегдатаи пришли в неописуемое волнение, и Рачителиха торговала особенно бойко, точно на празднике. Все ждали, не подойдет ли кто из Туляцкого конца, или, может, завернет старый Коваль.

Тит Горбатый действительно вернулся, и вернулся не один, а вывел почти всю семью, кроме безответного большака Федора, который пока остался с женой в орде. Старая Палагея, державшая весь дом железною рукой, умерла по зиме, и Тит вывел пока меньшака Фрола с женой Агафьей да Пашку; они приехали на одной телеге сам-четверт, не считая двух Агафьиных погодков-ребятишек. Это был тяжелый момент, когда Тит ночью постучал кнутиком в окно собственной избы, — днем он не желал ехать по заводу в настоящем своем виде. На стук показалась Татьяна; она не узнала грозного свекра, и он не узнал забитую сноху.

— Кого тебе, крещеный? — спросила Татьяна, разглядывая плохую лошаденку. — Может, Макара, так ево нету дома...

— Отворяй ворота, Татьяна, — ответила Агафья с телеги, и Татьяна узнала ее голос.

— Батюшки-светы, да ведь это ты, свекор-батюшко!.. — заголосила она, по старой привычке бросаясь опрометью к воротам. — Ах, родимые вы мои...

На шум выскочил солдат Артем, а за ним Домнушка. По туляцкому обычаю и сын и обе снохи повалились старику в ноги тут же на дворе, а потом начали здороваться.

— Ну, этово-тово, принимайте гостей, — печально проговорил Тит, входя в переднюю избу. — Мать Палагея приказала долго жить...

Домнушка и Татьяна сейчас же подняли приличный случаю вой, но Тит оговорил их и велел замолчать. Он все оглядывался кругом, точно боялся чего. С одной стороны, он был рад, что Макар уехал куда-то на лесной пожар: не все зараз увидят его убожество... Обстановка всего двора подействовала на старика самым успокаивающим образом. Братья, видимо, жили справно и не сорили отцовского добра. Что же, дай бог всякому так-то... Вон и Татьяна выправилась, даже не узнал было по первоначалу, а солдат со своею солдаткой

тоже как следует быть мужу с женой. Конечно, Домнушка поспала с рожицы, а все-таки за настоящую бабу сойдет, одна спина чего стоит.

— А ты давно из службы выворотился, Артем? — спрашивал старик для разговора.

— Да уж этак примерно второй год пошел, родитель, — вежливо отвечал солдат, вытягиваясь в струнку. — Этак по осени, значит, я на Ключевском очутился...

— Так, так... — рассеянно соглашался Тит, оглядывая избу. — А теперь, значит, этово-тово, при брате состоишь?

— Это вы касательно Макара, родитель? Нет, это вы напрасно, потому как у брата Макара, напримерно, своя часть, а у меня своя... Ничего, живем, ногой за ногу не задеваем.

— Робишь где-нибудь?

— Так вообче... своим средствием пока, а что касаемо предбудущих времен, так имеем свою осторожность.

Фрол смотрел на брата, как на чужого человека, а вытянувшийся за два года Пашка совсем не узнавал его. Да и солдат был одет так чисто, а они приехали в лаптях, в рубахах из

домашней пестрядины и вообще мужланами. Сноха Агафья тоже смущалась за свой деревенский синий «дубас» и простую холщовую рубашку, в каких на Ключевском ходили только самые древние старухи. Заводское щегольство больно отозвалось на душе Агафьи, и она потихоньку заплакала. Половину века унесла эта проклятущая орда... Теперь на улицу стыдно будет глаза показать, — свои заводские проходу не дадут.

Как человек бывалый, солдат спросил только про дорогу, давно ли выехали, благополучно ли доследовали, а об орде ни гугу. Пусть старик сам заговорит, а то еще не вовремя спросишь.

— Да ведь они, гли, совсем наехали, — шепнула ему Домнушка на ухо, соображая свои бабьи дела.

— Не наше дело, — цыкнул на нее Артем.

Никаких разговоров по первоначалу не было, как не было их потом, когда на другой день приехал с пожара Макар. Старик отмалчивался, а сыновья не спрашивали. Зато Домнушка в первую же ночь через Агафью вызнала всю подноготную: совсем «выворотились»

из орды, а по осени выедет и большак Федор с женой. Неловко было выезжать всем зараз, тоже совестно супротив других, которым не на что было пошевельнуться: уехали вместе, а назад повернули первыми Горбатые.

— Погибель, а не житье в этой самой орде, — рассказывала Домнушка мужу и Макару. — Старики-то, слышь, укрепились, а молодяжник да бабы взбунтовались... В голос, сказывают, ревели. Самое гиблое место эта орда, особливо для баб, — ну, бабы наши подняли бунт. Как огляделись, так и зачали донимать мужиков... Мужики их бить, а бабы все свое толмят, ну, и достигли-таки мужиков.

— Обнаковенно, все через вас, через баб, — глубокомысленно заметил солдат. — А все-таки как же родителя-то обернули, не таковский он человек...

— И не обернуть бы, кабы не померла матушка Палагея. Тошнехонько стало ему в орде, родителю-то, — ну, бабы и зачали его сомущать да разговаривать. Агафью-то он любит, а Агафья ему: «Батюшко, вот скоро женить Пашку надо будет, а какие здесь в орде невесты?.. Народ какой-то морный, обличьем

в татар, а то ли дело наши девки на Ключевском?» Побил, слышь, ее за эти слова раза два, а потом, после святой, вдруг и склался.

Возвращение Горбатых подняло на ноги оба мочеганских конца. У каждого был кто-нибудь свой в орде, и поэтому все хотели узнать, что и как. А между тем старый Тит никуда глаз не показывал. Свои сказывали его больным, — разбило старика с дороги. Самые любопытные по вечерам нарочно проходили под окнами горбатовского двора и ничего не могли заметить. Бабенки побойчее завертывали с разным бездельем то к Домнушке, то к Татьяне и все-таки не видали Тита; старик действительно лежал на печке и только вздыхал. Первый выход он сделал в воскресенье к заутрене. Народ уже ждал его и встретил глухим ропотом. Усердно молился старый Тит, и все видели, как он плакал. После заутрени вышел о. Сергей и долго беседовал с ним. Из пятого в десятое слышали эту беседу только самые почтенные старики и разные старушки, которые между заутреней и обедней обыкновенно осаждали о. Сергея разными просьбами и просто разговорами. Священ-

ник любил подолгу разговаривать, особенно со старушками, так что последние души в нем не чаяли. Из разговора с о. Сергеем старики только и слышали, как Тит рассказывал о смерти своей старухи, а о. Сергей утешал его.

После обедни за Титом из церкви вышла целая толпа, остановившая его на базаре.

— Эй, Тит, расскажи-ко, как ты из орды убёг! — крикнул неизвестный голос в толпе. — Разорил до ста семей, засадил их в орде, а сам убёг...

Старик даже головы не повернул на дерзкий вызов и хотел уйти, но его не пустили. Толпа все росла. Пока ее сдерживали только старики, окружавшие Тита. Они видели, что дело принимает скверный оборот, и потихоньку проталкивались к волости, которая стояла на горке сейчас за базаром. Дело праздничное, народ подгуляет, долго ли до греха, а на Тита так и напирали, особенно молодые.

— Богатым везде житье! — кричало уже несколько голосов. — А зачем других было зорить?

— Да я... ах, боже мой, этово-тово!.. — бор-

мотал Тит, не зная, кому отвечать. — Неужели же я себе-то ворог? Ну, этово-тово, ошибочка маленькая вышла... неустойка... А вы чего горло-то дерете, дайте слово сказать.

— И то, ребята, не приставайте, — заступились за Тита старики.

— Ладно, знаем мы его разговоры!.. Небось сам убёг, а других засадил в орде своей.

Напирали особенно хохлы, а туляки сдержанно молчали, хотя должно было быть как раз наоборот, потому что большинство переселенцев было из Туляцкого конца.

Под прикрытием стариков Тит был, наконец, доставлен в волость, где кстати случился налицо и сам старшина, старик Основа.

— Ну что, дедушка, скажешь? — спросил Основа.

От волнения Тит в первую минуту не мог сказать слова, а только тяжело дышал. Его худенькое старческое лицо было покрыто потом, а маленькие глазки глядели с усталою покорностью. Народ набился в волость, но, к счастью Тита, большинство здесь составляли кержаки.

— А ничего не скажу, этово-тово... — прого-

ворил Тит, продышавшись, и отмахнулся рукой, точно отгонял невидимых комаров.

— Совсем приехал или на побывку? — спрашивал Основа, степенно разглаживая свою седую голову.

— А, видно, совсем... Сила не взяла, этово-тово, — бормотал виновато Тит. — Своя неустойка вышла... Старики и старухи хвалят житье, а молодяжник забунтовал... Главная причина в молодяжнике... Набаловался народ на фабрике, этово-тово. Бабам ситцу подавай, а другие бабы чаю требовают... По крестьянству бабе много работы, вот снохи и подняли смуту. Правильная жисть им не по нутру, потому как крестьянская баба настоящий воз везет, а заводская баба набалованная... Вся неустойка от молодых снох, этово-тово. Они и мужиков подбивали. Способу с емя не стало, с бабами...

— Это ты правильно, дедушка, — поддерживал его Основа. — Слышите, что старик-то говорит?

Все молчали и только переминались с ноги на ногу. Дерзкие на язык хохлы не смели в волости напирать на Тита, как на базаре, и

только глухо ворчали.

— Что же ты теперь думаешь делать, дедушка? — спрашивал Основа.

— А не знаю... Старуху похоронил, а снохи от рук отбиваются — ну, этово-тово, и выворотился.

— А другие как: тоже воротятся?

— Надо полагать, что так... На заводе-то одни мужики робят, а бабы шишляются только по-домашнему, а в крестьянах баба-то наравне с мужиком: она и дома, и в поле, и за робятами, и за скотиной, и она же всю семью обряжает. Наварлыжились наши заводские бабы к легкому житью, ну, им и не стало ходу. Вся причина в бабах...

Волостное правление помещалось всего в двух комнатах, и от набившегося народа сделалось душно. В окружавшей волость толпе пронесся слух, что ходока Тита судят волостным судом. Народ бросился к окнам, так что в волости сделалось совсем темно. Основа понял неловкое положение старика Горбатого и пригласил его сесть к столу и расспрашивал его обо всем, как хороший знакомый... Этот маневр успокаивающим образом подейство-

вал на толпу, и она мало-помалу поредела. Одни ушли на базар, другие под гору к Рачителихе, третьи домой.

— Ну, а ты как жить-то думаешь? — спрашивал Основа. — Хозяйство позорил, снова начинать придется... Углепоставщиком сколько лет был?

— Да лет с двадцать уголь жег, это точно... Теперь вот ни к чему приехал. Макар, этово-тово, в большаках остался и выход заплатил, ну, теперь уж от ево вся причина... Может, не выгонит, а может, и выгонит. Не знаю сам, этово-тово.

Тит тяжело замолчал, а потом вдруг точно просветлел, поднял голову и с уверенностью проговорил:

— А бог-то на што? Я на правильную жисть добрых людей наводил, нет моего ответу... На легкое житье польстились бабенки, ну, им же и хуже будет. Это уж верно, этово-тово.

— Не поглянулся, видно, свой-то хлеб? — пошутил Основа и, когда другие засмеялись, сердито добавил: — А вы чему обрадовались? Правильно старик-то говорит... Право, галманы!.. Ты, дедушка, ужо как-нибудь заверни ко

мне на заимку, покалякаем от свободности, а будут к тебе приставать — ущитим как ни на есть. Народ неправильный, это ты верно говоришь.

От этих приветливых слов старый Тит даже заплакал. Очень уж тяжело ему было сегодня.

Из волости Тит пошел домой. По дороге его так и тянуло завернуть к Рачителихе, чтобы повидаться с своими, но в кабаке уж очень много набилось народу. Пожалуй, еще какого-нибудь дурна не вышло бы, как говорил старый Коваль. Когда Тит проходил мимо кабака, в открытую дверь кто-то крикнул:

— Эй, свой хлеб, куда пошел?

Тит остановился, горько усмехнулся и, сгорбившись, побрел к своему Туляцкому концу. Тяжело ему было идти к собственному двору. Сыновья хоть и не гнали, а оба молчали. Особенно не понравился Титу солдат Артем, как хитрый человек, из которого правды топором не вырубишь. Макар был и на язык дерзок, а все-таки с ним Тит чувствовал себя легче. Идти мимо пустовавших в Туляцком конце изб переселенцев для старика был нож

острый, но другой дороги не существовало. Как на грех навстречу Титу попался Полуэхт Самоварник. Он шел навеселе, перекинув халат через левую руку. Завидев Тита, Самоварник еще издали снял шляпу, остановился и заговорил:

— Старику сорок одно с кисточкой...

— Здравствуй, — сухо поздоровался Тит.

— А я теперь в туляки к вам записался, — болтал Самоварник. — Заходи ко мне в избу... Раздавим четвертушку с вином.

— Ужо в другой раз как-нибудь, — отнекивался Тит. — Не до водки мне, Полуэхт Меркулыч.

— Здоровенько ли поживаешь? А мы тут без тебя во как живем, в два кваса: один как вода, а другой пожиже воды.

Тит едва отвязался от подгулявшего дозорного и вернулся домой темнее ночи. Всего места оставалась печь, на которой старик чувствовал себя почти дома.

Глава 53

Когда старая Ганна Ковалиха узнала о возвращении разбитой семьи Горбатых, она ужасно всполошилась. Грозный призрак же-

ниха-туляка для Федорки опять явился перед ней, и она опять оплакивала свою «крашанку», как мертвую. Пока еще, конечно, ничего не было, и сват Тит еще носу не показывал в хату к Ковалям, ни в кабак к Рачителихе, но все равно — сваты где-нибудь встретятся и еще раз пропьют Федорку.

— У, пранцеватый, размордовал Туляцкий конец, — ворчала Ганна про свата Тита, — а теперь и до нас доберется... Оце лихо почиплялось!

Федорка за эти годы совсем выровнялась и почти «заневестилась». «Ласые» темные глаза уже подманивали парубков. Гладкая вообще девка выросла, и нашлось бы женихов, кроме Пашки Горбатого. Старый Коваль упорно молчал, и Ганна теперь преследовала его с особенным ожесточением, предчувствуя беду. Конечно, сейчас Титу совестно глаза показать на мир, а вот будет страда, и сваты непременно снюхаются. Ковалиха боялась этой страды до смерти.

Действительно, вплоть до страды Тит Горбатый, кроме церкви, решительно никуда не показывался. Макар обыкновенно был в ле-

су, солдат Артем ходил по гостям или сидел на базаре, в волости и в кабаке, так что с домашностью раньше управлялись одни бабы. Но теперь старый Тит опять наложил свою железную руку на все хозяйство, хотя уж прежней силы у него и не было: взять подряд на куренную работу было не с чем — и вся снасть позорена, и своей живой силы не хватило бы. Вообще старик заметно опустился и безмолвно подчинился Макару и Артему. Сыновья хотя ни в чем не перечили отцу, но и воли особенной не давали. Это была глухая подземная борьба, для которой не требовалось слов, а между тем старый Тит переживал ужасное состояние «лишнего человека». Каждый кусок хлеба вставал у него поперек горла. Положение выведенных из орды сыновей Фрола и Пашки было не лучше. Пока Фрол пристроился в подсыпки на домну, где прежде работал большак Федор, а Пашка оставался без дела.

— Вон Илюшка как торгует на базаре, — несколько раз со вздохом говорил Пашка, — плисовые шаровары на ем, суконную фуражку завел... Тоже вот Тараско, брат Окулка, ска-

зывают, на Мурмосе у Груздева в мальчиках служит. Тишка-казачок, который раньше у Петра Елисеича был, тоже торгует... До Илюшки им далеко, а все-таки...

Пашка, Илюшка и Тишка-казачок были погодки и раньше дружили, а теперь Пашка являлся пред ними уже смешным мужиком-челдоном. За два года крестьянства в орде Пашка изменился на крестьянскую руку, и его поднимали на смех свои же девки-тулянки, когда он начинал говорить «по-челдонски». Любимец старика Тита начинал испытывать к отцу глухую ненависть, как и сноха Агафья, подурневшая и состарившаяся от «своего хлеба». Вообще кругом вырастали неприятности, и старый Тит только вздыхал. Не раз он думал, что уж лучше ему было бы помереть в орде, — по крайней мере похоронили бы «рядышком» с Палагеей.

Старый Тит вздохнул свободнее, когда наступила, наконец, страда и он мог выехать со всею семьей на покос. Весело закурились покосные огоньки на Сойге, но и здесь неприятности не оставляли Тита. На деяновском покосе, лучшем из всех, теперь страдовал кер-

жак Никитич. «Хозяйка» Никитича закашляла, как он говорил про свою доменную печь, и ее весной «выдули» для необходимых поправок. Таким образом, Никитич освободился на всю страду и вывел на свой покос доменных летухов, свою сестру Таисью и, конечно, дочь Оленку, с которой вообще не расставался. Урвался даже Тишка-казачок и тоже болтался на покосе. Кержаки работали дружно, любо-дорого смотреть, а по вечерам у Никитича весело заливались старинные кержацкие песни. Оленка уже была по пятнадцатому году, и ее голос резко выделялся высокими переливами, — хохлушки и тулянки пели контральтовыми голосами, а кержанки сопрано. Сам Никитич всегда был рад случаю погулять и, смастерив из бересты волынку, подтягивал Оленке. Это кержацкое веселье было нож вострый тулякам, особенно Титу Горбатому, которому кержак Никитич сел, как бельмо на глазу. Да и Деян Поперешный не удержался и попрекнул Тита своим проданным покосом.

— Твоя работа, старый черт! — обругал Деян старика Горбатого, тыкая пальцем на по-

кос Никитича. — Ишь как песни наигрывают кержаки на моем покосе.

— Сам продавал, никто не неволил, — оправдывался хмуро Тит. — Свой ум где был?

— А все от тебя, Тит... Теперь вот рендую покос у Мавры, значит, у Окулкиной матери. Самой-то ей, значит, не управиться, Окулко в остроге, Наташка не к шубе рукав — загуляла девка, а сынишка меньшой в мальчиках у Самойла Евтихыча. Достиг ты меня, Тит, вот как достиг... Какой я человек без покосу-то?..

— А такой... Дурашлив уродился, значит, а моей причины тут нет, — огрызался Тит, выведенный из терпения. — Руки бы вам отрубить, лежебокам... Нашли виноватого!.. Вон у Морока покос по людям гуляет, его бы взял. Из пятой копны сдает Морок покос-то, шальная голова, этово-тово...

— Это мы и без тебя знаем, дедушка. А все-таки достиг ты нас всех, — ох, как еще достиг-то!.. Сказывают, и другие прочие из орды-то твоей выворотятся по осени.

Единственный человек, который не корил и не попрекал Тита, был Филипп Чеботарев, страдовавший со своими девками. Он ча-

стенько завертывал к Титу покалякать, и старики отдыхали вместе. Положение Филиппа ухудшалось с каждым годом: он оставался единственным работником-мужиком в семье и совсем «изробился». Пора было и отдохнуть, а замениться некем. Еще в страду девки за людей шли, все же подмога, а в остальное время все-то они вместе расколотого гроша не стоили и едва себе на одежду заробливали. Безвыходное положение чеботаревской семьи являлось лучшим утешением для старого Тита: трудно ему сейчас, а все-таки два сына под рукой, и мало-помалу семья справится и войдет в силу. Если старшие сыны в отдел уйдут, так с него будет и этих двоих, все-таки лучше, чем у Филиппа. Жена Филиппа, худая Дарья, и на человека не походила. А солдатка Аннушка совсем замоталась: зимой им ворота дегтем вымазали, а потом повадились ходить кержаки с фабрики в гости. Одна худая слава чего стоит, а тут еще полон дом девок. Всем им загородила дорогу беспутная Аннушка. Про Феклисту тоже неладно начинают поговаривать, хоть в глазах девка и смирная — воды не замутит. Да и взыскивать

не с кого: попала на фабрику — все одно пропала. Еще ни одна поденщица не вышла замуж, как стоит эта проклятая фабрика. Все сердце изболелось у Дарьи, глядючи на своих девок, да и муж-старик захирел совсем. Очень уж он добрый да жальливый до всех: в семье худого слова от него не слыхивали. Жаловаться другим Филипп тоже не любил и нес свою тяжелую долю скрепя сердце. В страду Аннушка завела шашни с кержаками, работавшими на покосе у Никитича, и только срамила всю семью. Приметила Дарья, что и Феклиста тоже не совсем чиста, — пока на фабрике робила, так грех на стороне оставался, а тут каждая малость наверх плыла. Летухи Никитича хоть в балаган к Филиппу не лезли, а кругом да около похаживали. Горько плакала Дарья, когда на покосе Никитича кержаки «играли» свои старинные кержацкие песни.

На беду, в покос, когда подваливали траву, подъехал Морок. Зачем он шатался — Дарья и ума не могла приложить. Приехал этот Морок, остановился у них и целых три дня работал, как настоящий мужик. Один он подвалил копен пятьдесят и заменил недомогавше-

го Филиппа. Все-таки мужик, хоть и не настоящий. Сначала Дарья подумала, что Морок для Аннушки приехал, и нехорошо подумала про него, но это оказалось неверным: Морок чуть не поколотил Аннушку, так, за здорово живешь, да и Аннушка грызлась с ним, как хорошая цепная собака. Чудной человек этот Морок: работает, ни с кем ничего не говорит, а потом вдруг свернулся, сел на свою сивую кобылу и был таков.

— Это он к тебе приезжал! — накинулась Дарья на младшую дочь, Феклисту. — Все я вижу... Мало вам с Аннушкой фабрики, так вы в глазах страмите отца с матерью.

— Мамынька, вот те Христос, ничего не знаю! — отпиралась Феклиста. — Ничего не знаю, чего ему, омморошному, надо от меня... Он и на фабрику ходит: сядет на свалку дров и глядит на меня, как я дрова ношу. Я уж и то жаловалась на него уставщику Корниле... Корнило-то раза три выгонял Морока с фабрики.

— Ладно, бесстыжие глаза, разговаривай!.. Всем-то вам на фабрике одна цена...

— Мамынька, да я...

Дарья ни за что ни про что прибила Феклисту, прибила на единственном основании, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать свое расходившееся материнское сердце. Виновником падения Феклисты был старик уставщик Корнило, которому Аннушка подвела сестру за грошовый подарок, как подводила и других из любви к искусству. Феклиста отдалась старику из расчета иметь в нем влиятельного покровителя, который при случае и заступится, когда будут обижать свои фабричные.

Старый Дорох Коваль страдовал верстах в двух от Горбатых, вверх по р. Сойге. Скотины у них было всего одна лошадь да корова с телочкой, поэтому и работали не торопясь, как все хохлы. Надрываться над работой Коваль не любил: «А ну ее, у лис не убигнет тая работа...» Будет, старый Коваль поробил на пана. Покос у Ковалей тоже был незавидный, в сырые лета совсем мокрый, да и подчистить его не догадывался никто. Работали из мужиков сам Дорох с Терешкой да бабы — старая Ганна, вдовая дочь Матрена да сердитая тулянка сноха Лукерья. Федорка еще в первый раз вышла «с косой на траву» и заменила матку.

— А кто же меня заменит? — смеялся старый Коваль над женой Ганной. — Терешка за себя робит... Ну, я возьму зятя в дом — будет мне спину гнуть.

— Глиндру возьмешь, — ворчала Ганна. — В кабаке у Рачителихи в вине жениха Федорке Ваньку Голого выхлебаешь.

«Выхлебать Ваньку Голого» значило иносказательно разориться. Это выражение часто употреблялось в Хохлацком конце.

Чего старая Ганна боялась, то и случилось. Она с своей стороны употребляла все меры, чтобы удержать Дороха около себя, а когда он порывался уйти к кому-нибудь на покос, она пускала в ход последнее средство — угощала своего пьяницу водкой, и Коваль оставался. Конечно, эти уловки ничего не значили, но сваты сами почему-то избегали встреч, помня свои раздоры относительно орды. Но в одно воскресенье, когда Ганна после раннего покосного обеда прикорнула в балагане, старый Коваль вдруг исчез. Он явился только к вечеру, навеселе, и вместе с Титом. Сваты приехали верхом на одной лошади. Коваль сидел к хвосту, болтал босыми ногами и даже «голо-

сил» какую-то песню. Тит ехал без шапки и в такт песни размахивал правою рукой.

— Геть, стара! — кричал еще издали Коваль. — Принимай гостей... Слухай, сват:

Старый боярин, як болван,
Вытаращив очи, як баран.
На ем свита соломою шита...
На ем каптан соломою напхан,
Лычком подперевязався,
По-боярски прибрався...
А старша светилица — черви в потылице,[397]
А на свахе-то да чепец скаче!..

У старой Ганны даже ноги подкосились, когда она увидела сватов в таком виде, а пьяница Коваль так и голосил свадебные песни.

— Геть, стара! Свата из орды привез тоби... Сватались да рассватались, а потом опять сватались. Кажи свату Федорку, бо мы ее в горилке со сватом выхлебали... Оттак!

— А ты здравствуй, Анна, — здоровался Тит немного прилипавшим языком. — Мы, этово-тово, ударили по рукам. Видно, от суженого не уйдешь...

— Пьяницы вы, вот что! — ругалась Ган-

на. — Ишь чего придумали! Не отдам Федорки... Помру, а не отдам.

Все это были одни слова, и ночью Ганна опять оплакивала свою крашанку.

Глава 54

Отдохнувший на покосе Тит начал забирать семью опять в свои руки и прежде всего, конечно, ухватил баб. Особенно доставалось Домнушке, которая совсем отвыкла от страды.

— Надо с тебя помаленьку приказчичий-то жир снимать, — ворчал на нее Тит. — С осени, видно, была закормлена, этово-тово...

— Вы много жиру-то привезли с своего хлеба, — огрызалась Домнушка. — Тоже нашел чем укорить!

Солдат Артем хоть и выехал на покос, но работал мало, а больше бродил по чужим балаганам: то у Деяна, то у Никитича, то у Ковалей. Сильно налегать на него старый Тит не смел, а больше донимал стороной.

— К чему тебя и применить, Артем, — удивлялся Тит вслух, — ни ты мужик, ни ты барин... Ходишь как маятник — только твоего и дела. Этово-тово, не укладешь тебя никуда,

как козьи рога.

— Ломаный я человек, родитель, — отвечал Артем без запинки. — Ты думаешь, мне это приятно без дела слоняться? Может, я в другой раз и жисти своей не рад... Поработаю — спина отымается, руки заболят, ноги точно чужие сделаются. Завидно на других глядеть, как добрые люди над работой убиваются.

— Все-то ты врешь, Артем! — корил его Тит.

В середине страды Артем и совсем пропал. Нет его день, нет два, нет три, а на четвертый приехал в телеге.

— Где пропадал-то, этово-тово? — спрашивал Тит.

— А в Мурмос ездил, родитель... Позаимствовал вот лошадку и съездил, слава богу. Дельце одно обмозговал.

На этот раз солдат действительно «обыскал работу». В Мурмосе он был у Груздева и нанялся сушить пшеницу из разбитых весной коломенок. Работа началась, как только спала вода, а к страде народ и разбежался. Да и много ли народу в глухих деревушках по Ка-

менке? Работали больше самосадчане, а к страде и те ушли.

— Баб наймовать приехал, — объяснял солдат родителю, — по цалковому поденщину буду платить, потому никак невозможно — горит пшеница у Груздева. Надо будет ему подсобить.

— Какие же дуры бабы пойдут к тебе с покоса? — удивлялся Тит, разводя руками.

— А цалковый-то, по-твоему, што он означает? На сигнацию по прежнему три рубля с полтиной... Может это чувствовать баба али нет?

Из работавших на покосе баб Артем соблазнил своим цалковым только одну гулящую Аннушку, а других набрал в Ключевском, из дровосушек, а в том числе Наташку, сестру Окулка. Свою жену Домну солдат оставил страдовать.

— Зачем ее трогать с места? — объяснял Артем. — У меня жена женщина сырая, в воду ее не пошлешь... Пусть за меня остается в семье, все же родителю нашему подмога.

Всех баб Артем набрал до десятка и повел их через Самосадку к месту крушения коло-

менок, под боец Горюн. От Самосадки нужно было пройти тропами верст пятьдесят, и в проводники Артем взял Мосея Мухина, который сейчас на пристани болтался без дела, — страдовал в горах брат Егор, куренные дрова только еще рубили, и жигаль Мосей отдыхал. Его страда была осенью, когда складывали кучонки и жгли уголь. Места Мосей знал по всей Каменке верст на двести и повел «сушилок» никому не известными тропами.

— Прямым трактом проведу, — коротко объяснил он. — Самойло-то Евтихыч вечор на косной уплыл под Горюн... Пожалуй, кабы мы не опередили его.

Дорогой Мосей объяснял Артему, по каким местам они шли, какие где речки выпали, какие ключики, лога, кедровники. Дремучий глухой лес для Мосея представлял лучшую географическую карту. Другим, пожалуй, и жутко, когда тропа уводила в темный ельник, в котором глухо и тихо, как в могиле, а Мосей счастлив. Настоящий лесовик был... Солдата больше всего интересовали рассказы Мосея про скиты, которые в прежние времена были здесь, — они и шли по старой скитской доро-

ге.

— А теперь их нету, скитов-то? — пытал Артем к разговору.

— Здесь, значит, скиты кончились, а выше по Каменке еще есть, к Заболотью.

— Почему же их здесь не стало?

— А потому... Известно, позорили. Лесообъездчики с Кукарских заводов наехали этак на один скит и позорили. Меду одного, слышь, пудов с пять увезли, воску, крупчатки, денег... Много добра в скитах лежит, вот и покорыстовались. Ну, поглянулось им, лесообъездчикам, они и давай другие скиты зорить... Большие деньги, сказывают, добыли и теперь в купцы вышли. Дома какие понастроили, одежу завели, коней...

— Но-но-о?

— Верно говорю... Первые люди стали, а раньше вровень с мужиками жили.

— А как же старцы-то: их, напримерно, зорят, а они отдают?

— Как бы не так!.. Тоже и старцы ущитились, ну, да в лесу, известно, один Микола бог... Троих, сказывают, старичков порешили лесообъездчики, а потом стащили в один ски-

ток и скиток подпалили. Одни угольки остались... Кто их в лесу-то видел? Да и народ все такой, за которого и ответу нет: бродяги, беглые солдаты, поселенцы. Какой за них ответ? Все равно как лесной зверь, так и они.

Эти разговоры глубоко запали в душу Артема, и он осторожно расспрашивал Мосея про разные скиты. Так незаметно в разговорах и время прошло. Шестьдесят верст прошли без малого в сутки: утром рано вышли с Самосадки, шли целый день, а на другое утро были уже под Горюном. По реке нужно было проплыть верст двести.

Картина, которую представлял берег Каменки, заставила ахнуть даже Артема. Боец Горюн, высокая известковая скала, выдававшаяся в реку грудью, стоял на правом берегу Каменки, в излучине, под самым прибоем; левый берег выдавался низкою песчаною отмелью. Теперь вся эта отмель была завалена обломками убившихся о Горюн коломенок, кулями и какими-то черными кучами.

— Вон она, пшеничка-то груздевская, как преет! — говорил Мосей, указывая на черные кучи. — Большие тыщи Самойло Евтихыч по-

садил здесь.

На мысу из барочного леса кое-как были сгорожены несколько балаганов, в которых жил старик сторож, а раньше бабы-сушилки. Сейчас из сушилок оставалось всего три старухи, которые разгребали превшее на солнце зерно.

Приведенная Артемом артель действительно опередила Груздева на целых полдня, — его косная привалила сверху только под вечер.

— Спасибо, служба, — поблагодарил он, когда Артем представил ему приведенных баб.

— Одна другой лучше, Самойло Евтихыч... — хвастался солдат. — Которая больше поглянется, ту и отдам.

Осмотрев работу, Груздев остался на несколько дней, чтобы лично следить за делом. До ближайшей деревни было верст одиннадцать, да и та из четырех дворов, так что сначала Груздев устроился было на своей лодке, а потом перешел на берег. Угодливый и разбитной солдат ему нравился.

— Уж я из кожи вылезу, да услужу, — уверял Артем. — Давно бы вам сказать мне, Са-

мойло Евтихыч... Этих самых баб мы бы нагнали целый табун.

— Да кто тебя раньше-то знал? — говорил Груздев. — Всех знаю на сто верст кругом, а тебя не знал.

Работы у «убитых коломенок» было по горло. Мужики вытаскивали из воды кули с разбухшим зерном, а бабы расшивали кули и рассыпали зерно на берегу, чтобы его охватывало ветром и сушило солнышком. Но зерно уже осолодело и от него несло затхлым духом. Мыс сразу оживился. Бойкие заводские бабы работали с песнями, точно на помочи. Конечно, в первую голову везде пошла развертная солдатка Аннушка, а за ней Наташка. Они и работали везде рядом, как привыкли на фабрике.

— Веселей похаживай! — командовал Артем, довольный своею новою службой, на которой можно было ничего не делать.

Он сам назвал себя десятником и даже ходил по берегу с палкой, как заводские уставщики.

Груздев осмотрел все подробно, пересчитал кули и прикинул на глазомер лежавшее в

кучах зерно. Убыток был страшный. Овес уйдет на солод, а гнилую пшеницу с величайшим трудом можно было сбыть куда-нибудь в острог или в местную воинскую команду. Если бы получить четверть своей цены, и то слава богу. Во всяком случае убыток страшный, тысяч в пятьдесят. День проходил в хлопотах незаметно, а когда наступал вечер, Груздева охватывала страшная тоска. Тихо кругом. Чуть слышно бурлит Каменка. На берегу огни. Наработавшиеся за день бабы отдыхали в балаганах, или починивались у огня. Около Груздева вертелся больше всех солдат Артем. Он и приходил тогда, когда Груздеву делалось скучно.

— Ну, что скажешь, Артем? — спрашивал Груздев.

— А ничего, все, слава богу, идет своим чередом... — по-солдатски бойко отвечал Артем. — Ужо к осени управимся, нагрузим хлеб на полубарки и сгоним книзу. Все будет форменно, Самойло Евтихыч!

В несколько дней Артем сумел сделаться необходимым для Груздева, — который теперь ездил уже без обережного — и денег у

него не было, да и Матюшка Гущин очень уж стал зашибать вином.

— Скучно вам, Самойло Евтихыч, — повторял Артем, надрываясь от усердия. — Человек вы еще в полной силе, могутный из себя... Кругом вас темнота и никакого развлечения. Вот вы теперь меня слушаете, а я весьма это чувствую, где мое-то место.

Подметил Артем, что Груздев как будто начал забываться. Выйдет утром на берег, походит около пшеницы, надает приказаний, как будто у него двести человек рабочих, а потом и забудет все. Солдат только поддакивал, как малому ребенку, и соображал свое. Чаще всего Груздев торопится-торопится, а потом вдруг сядет куда-нибудь на доску, опустит голову и сидит до тех пор, пока его не позовут. Любил по вечерам Груздев слушать, как Ключевские тулянки пели свои невеселые туляцкие песни. По реке так и отдает эхом, а Горюн повторяет каждое слово. Раз Груздев слушал-слушал и спрашивает солдата:

— Это которая так ловко выводит?

— А вон толстая, с кумачным подзором... Значит, солдатка Аннушка.

— Нет, не она... — заметил Груздев, прислушиваясь. — А рядом с ней чья? Вот еще спиной повернулась...

— Это-с?.. Это будет Наташка, сестра разбойника Окулка... Да. Еще ейный брат Тарас у вас, Самойло Евтихыч, в мальчиках служит. Конечно, сиротство ихнее, а то разе пошла бы в сушилки?

— Гм... да. То-то я смотрю на нее: лицо как будто знакомое, а хорошенько не упомню. Да и видел я ее всего раз, когда она просила насчет брата.

С этого разговора песни Наташки полились каждый вечер, а днем она то и дело попадала Груздеву на глаза. Встретится, глаза опустит и даже покраснеет. Сейчас видно, что очестливая девка, не халда какая-нибудь. Раз вечерком Груздев сказал Артему, чтобы он позвал Наташку к нему в балаган: надо же ее хоть чаем напоить, а то что девка задарма горло дерет?

«Эх, кабы все это да до убившего каравана! — думал Артем, как-то по-волчьи глядя на Груздева. — А то и взять-то сейчас с тебя нечего... Все одно, что проколотый пузырь. Не сто-

ит с тобой и бобы разводить, ежели сказать по-настоящему».

По вечерам солдат любил посидеть где-нибудь у огонька и подумать про себя. Нейдут у него с ума скиты и — кончено, а Мосей еще подбавляет — и о Заболотье рассказал, и об Анбаше, и о Красном Яре. Много добра по скитам попрятано...

Глава 55

Семья Груздева «рушилась» как-то сразу, вместе с груздевским благосостоянием. Не было никаких переходных ступеней, как это обыкновенно случается. Анфиса Егоровна точно унесла с собой все груздевское счастье. Повидимому, эта скромная женщина решительно ничего не делала, а жила себе на купеческую руку и только, а всеми делами заправлял один Самойло Евтихыч, — он являлся настоящим главой дома. Между тем стоило только умереть Анфисе Егоровне, как у Груздева все пошло вверх дном. Собственно громадные убытки от «убившего каравана» не могли здесь идти в счет: они подорвали груздевские дела очень серьезно, но за ним оставалась еще репутация деятельного, оборoти-

стого человека, известное доверие и, наконец, кредит. Мало-помалу он мог опять подняться на прежнюю высоту. Но вся беда заключалась в том, что Груздев как-то сразу опустился. Прежняя энергия и деловитость проявлялись только вспышками, а затем наступали широкие полосы безделья, апатии и равнодушия, — вообще человек повихнулся. Где-то в глубоких и неведомых тайниках души происходил невидимый процесс разложения нравственного человека.

На Крутяш Груздев больше не заглядывал, а, бывая в Ключевском заводе, останавливался в господском доме у Палача. Это обижало Петра Елисеича: Груздев точно избегал его. Старик Ефим Андреич тоже тайно вздыхал: по женам они хоть и разошлись, а все-таки на глазах человек гибнет. В маленьком домике Ефима Андреича теперь особенно часто появлялась мастерица Таисья и под рукой сообщала Парасковье Ивановне разные новости о Груздеве.

— Рехнулся человек, — качая головой, раскольничьим полушепотом рассказывала Таисья. — Легкое место сказать, по весне жену

похоронил, а летом эту мочеганку Наташку приспособил... Страм один.

— Это под Горюном проклятый солдат ему подвел девку, — объясняла Парасковья Ивановна, знавшая решительно все, не выходя из комнаты. — Выискался пес... А еще как тосковал-то Самойло Евтихыч, вчуже жаль, а тут вон на какое художество повернул. Верь им, мужчинам, после этого. С Анфисой-то Егоровной душа в душу всю жизнь прожил, а тут сразу обернул на другое... Все мужики-то, видно, на одну колодку. Я вот про своего Ефима Андреича так же думаю: помри я, и...

— Што ты, матушка, Парасковья Ивановна, и скажешь! — совестила ее Таисья. — Тебе-то грешно... Слава богу, живете да радуетесь.

— Все до время, Таисьюшка... Враг силен.

Парасковья Ивановна была особенная женщина, с тем грустным раскольничьим складом души, который придавал совершенно особую окраску всей жизни. Жизнь она видела в каких-то темных цветах и вечно кого-нибудь жалела. Правда, что зла кругом было достаточно, но другие больше думали о се-

бе, а старушка Парасковья Ивановна скорбела о других. Мир перед ее глазами расстилался в грехе и несовершенствах, как библейская юдоль плача, а на себя она смотрела как на гостью, которая пришла, повернулась и должна уже думать о возвращении в неизвестное и таинственное «домой». Каждый новый печальный факт только усугублял это грустное настроение. Была и специальная точка для таких невеселых мыслей — это свои бесконечные женские незадачи. Нет счастья на земле, нет справедливости, нет покоя... Разложение груздевской семьи служило только лишним доказательством этой теории.

— А приказчики-то как зорят Самойла Евтихыча, — повествовала мастерица Таисья, качая головой. — Тошнехонько глядеть... Набрал он приказчиков-то себе с бору да с сосенки, ну, они его и доезжают теперь. Жареным и вареным волокут... Ведь еще мальчишки которые, а как обирают его. Рачителихин Илюшка так прямо разбойником и глядит... Ну, и Тишка, племянничек-то мой, тоже хорош, да и другие все. А Рачители так в две руки и хапают: мать-то, Дунька, в кабаке давно

утвердилась, а сын Илюшка по лавке... Станут говорить Самойлу Евтихычу люди со стороны, так он не верит им: обошли его кругом свои же приказчики. Навязался теперь еще этот солдат Артем, настоящий губитель. Он больше через Наташку действует...

— Стыд-то где у Самойла Евтихыча? — возмущалась Парасковья Ивановна. — Сказывают, куды сам поедет, и Наташку с собой в повозку... В Мурмосе у него она в дому и живет. Анфиса Егоровна устраивала дом, а теперь там Наташка расширилась. Хоть бы сына-то Васи постыдился... Ох, и говорить-то, так один срам!.. Да и другие хороши, ежели разобрать: взять этого же Петра Елисеича или Палача... Свое-то лакомство, видно, дороже всего.

Нюрочка бывала у Парасковьи Ивановны почти каждый день и делалась невольною свидетельницей тайных разговоров и сокрушений. Сначала ее остерегались, а потом как-то совсем привыкли к молчаливому присутствию скромной девушки. Таким образом Нюрочка сразу была посвящена в темные стороны жизни. К Парасковье Ивановне она относилась с каким-то благоговением и каждо-

му ее слову верила, как непреложной истине. Мир раскрывался перед ее полудетскими глазами во всей своей непривлекательной наготе, и она, как молодое растение, впитывала в себя окружающие ее мысли и чувства. Из детства Нюрочка шагнула прямо к какой-то старческой зрелости. Грустная нотка чувствовалась и раньше в ее характере, а теперь именно она и получала развитие. Процесс формирования внутреннего человека шел с поразительною быстротой, и детское личико Нюрочки часто смотрело недетским взглядом. Многого она, конечно, не понимала, как все дети, а о многом уже начинала догадываться. Теория греховности мира проходила перед ее детскими глазами в живых и ярких образах. Противовесом этому настроению являлась религия, та практическая и скорбная религия, какая создавалась словами, поступками и чувствами Парасковьи Ивановны и мастерицы Таисьи.

В свою очередь Ефим Андреич по вечерам частенько завертывал к Петру Елисеичу, чтобы потолковать от свободности о разных разностях. Конечно, история Груздева в этих ве-

черних беседах занимала не последнее место, хотя старики говорили очень сдержанно, не пускаясь в излишние откровенности. Петр Елисеич по поводу груздевской истории чувствовал себя особенно скверно, точно сам он в чем-то был очень виноват. Беседы с Ефимом Андреичем доставляли Петру Елисеичу большое удовольствие и как-то успокаивали его. Ефим Андреич вносил с собой такую широкую струю какого-то делового добродушия. Кровною связью для стариков служило свое родное заводское дело. Оно сейчас совсем охватило Петра Елисеича. После вынужденного безделья на Самосадке работа на Крутяше являлась праздником, и Петр Елисеич заметно помолодел. Даже самый рудник точно повеселел и казался гораздо оживленнее. Просыпаясь по ночам, Петр Елисеич с удовольствием прислушивался к неугомонной работе главной шахты: вечно отпыхивали паровые машины, хрипели штанги, с лязгом катились по рельсам откатные тележки и весело гудела неустанная работа. Медная шахта походила на улей, где жизнь творилась в таинственной глубине. Собственно заводская

работа была бы больше по душе Петру Елисеичу, но пока приходилось удовлетворяться и этим.

Ефим Андреич знал о деньгах, которые были отданы Петром Елисеичем Груздеву на честное слово, как знал и то, что это было все состояние Петра Елисеича. Этим и объяснялось то, что Груздев как будто избегал Крутяша. После долгих размышлений Ефим Андреич решился действовать энергично, потому что, очевидно, Петр Елисеич был очень прост, а Груздев совсем сбесился. Улучив свободную минутку, когда Груздев приехал в Ключевской завод, Ефим Андреич отправился в господский дом. Старик недолюбливал молодого Палача, хотя тот и приходился ему родственником. В господский дом Ефим Андреич пришел как раз к завтраку, когда Палач и Груздев благодушествовали за бутылкой водки.

— Ты зачем это пожаловал? — спрашивал Палач, уже пьяный, несмотря на раннее время: он сильно пьянствовал в последнее время.

— А я к Самойлу Евтихычу, — уклончиво ответил Ефим Андреич. — Дельце есть

небольшое.

— Говори.

— И скажу, когда придется.

Груздев заметно был хмелен, хотя и бодрился. Он сразу понял, зачем приплелся Ефим Андреич, и, не дожидаясь приглашения, взял шапку и покорно пошел за ним.

— Куда вы? — удивлялся Палач. — Самойло, так нельзя ломать компанию... Выпей посошок!

Груздев даже не оглянулся, а только отмахнулся рукой. Вообще он имел виноватый и жалкий вид.

— Эх, Самойло Евтихыч, Самойло Евтихыч! — повторял Ефим Андреич, когда они шли по плотине. — Нет, не ладно...

— А я разве сам-то не понимаю, что нехорошо? — спрашивал Груздев, останавливаясь. — Может быть, я сам-то получше других вижу свое свинство... Стыдно мне. Ну, доволен теперь?

— Эх, Самойло Евтихыч, Самойло Евтихыч!.. Ждали мы вас, когда вы на Крутяш завернете, да так и не дождались...

— И это понимаю! Что я пойду с пусты-

ми-то руками к твоему Петру Елисеичу? Кругом моя вина, а меня бог убил.

Свидание старых друзей произошло при самой грустной обстановке. Сделав свое дело, Ефим Андреич постарался скрыться незаметным образом. Петр Елисеич ужасно смутился и не знал, с чего начать.

— Вот что, Петя, давай водки, — объявил, наконец, Груздев. — Тошно мне.

Он сел к столу, закрыл лицо руками и забормотал:

— Не стало голубушки моей Анфисы Егоровны... не стало Анфисы Егоровны... Пропащий я человек, Петя!

Крупные слезы так и посыпались сквозь пальцы. Эта сцена тяжело подействовала на Петра Елисеича, и он быстро ходил по конторе, размахивая платком. Что он мог сказать своему другу?

— Ты думаешь, что я потому не иду к тебе, что совестно за долг? — спросил Груздев, выпив водки. — Конечно, совестно... Только я тут не виноват, — божья воля. Бог дал, бог и взял... А тяжело было мне просто видеть тебя, потому как ты мне больше всех Анфису Его-

ровну напоминаешь. Как вспомню про тебя, так кровью сердце и обольется.

Эта откровенность сразу уничтожила взаимную неловкость. Петр Елисеич спокойно и просто стал уговаривать Груздева оставить глупости и приняться за свое дело. Все мы делаем ошибки, но не следует падать духом. Груздев слушал, опустив голову, и в такт речи грустно улыбался. Когда Петр Елисеич истощил весь запас своих нравоучений, хороших слов и утешающих соображений, Груздев сказал всего одну фразу:

— А если у меня, Петя, в душе-то пусто? Понимаешь: пусто... Вот как в дому, когда жильцы выедут и ставни закроют.

В результате этой беседы было то, что Груздев разбил даже рюмку, из которой пил водку, и дал самое торжественное обещание исправиться. При прощанье, оглянувшись, он шепотом прибавил:

— А девку я, тово, по шее...

— Какую девку?

— Ну, Наташку свою...

Глава 56

Познакомившись с Таисьей давно, Нюрочка стала бывать у ней только с переездом на Крутяш, благо от Пеньковки до Кержацкого конца было рукой подать. В первый раз в Таисьиной избушке Нюрочка была с покойною Анфисой Егоровной, потом бывала с Парасковьей Ивановной, а сейчас ходила уже одна. Ей нравилось все в этом маленьком домике, от которого веяло молитвенною тишиной и неустанным пчелиным трудом. Сама мастерица Таисья походила больше всего именно на пчелу, лепившую невидимый сот. Это был совершенно особенный мир, который неудержимо тянул к себе детскую душу Нюрочки своею убежденною цельностью, таинственною обстановкой и вечным сокрушением о грехах мира. Таисья говорила с ней, как с большой, и Нюрочка вырастала в собственных глазах, а с этим вместе росло и сознание какой-то громадной ответственности. Настоящий мир с его горем и радостью уходил все дальше и дальше, превращаясь постепенно в грозный призрак.

— Ох, горе душам нашим! — повторяла сокрушенно Таисья. — Все-то мы в потемках хо-

дим, как слепцы... Все-то нам мало, всё о земном хлопочем, а с собой ничего не возьмем: все останется на земле, кроме душеньки.

Мысль о смерти покрывала траурным флером все миросозерцание Таисьи и вместе служила исходною точкой всех ее рассуждений. Она так и жила, что каждую минуту готова была к этому переселению из временного мира в вечный, и любила называть себя божьею странницей. В подкрепление своих мыслей Таисья приводила житие какого-нибудь раскольничьего подвижника, и это было самою интересною частью ее бесед. Нюрочка слушала, затаив дыхание, чтобы не проронить ни одного святого слова, и не чувствовала, как у ней по лицу катились слезы; ей делалось и страшно и хорошо от этих разговоров, но дома она по какому-то инстинкту ничего не говорила отцу.

— А ты видала святых людей? — спрашивала Нюрочка мастерицу.

— Святыми бывают после смерти, когда чудеса явятся, а живых подвижников видывала... Удостоилась видеть схимника Паисия, который спасался на горе Нудихе. Я тогда в

скитах жила... Ну, в лесу его и встретила: прошел от меня этак будет как через улицу. Борода уж не седая, а совсем желтая, глаза опущены, — идет и молитву творит. Потом уж он в затвор сел и не показывался никому до самой смерти... Как я его увидела, так со страху чуть не умерла.

— Чего же ты испугалась?

— А как же: грешный я человек, может, хуже всех, а тут святость. Как бы он глянул на меня, так бы я и померла... Был такой-то случай с Пафнутием болящим. Вот так же встретила его одна женщина и по своему женскому малодушию заговорила с ним, а он только поглядел на нее — она языка и решилась.

Под влиянием Таисьи в Нюрочкиной голове крепко сложилась своеобразная космогония: земля основана на трех китах, питающихся райским благоуханием; тело человека сотворено из семи частей: от камня — кости, от Черного моря — кровь, от солнца — очи, от облака — мысли, от ветра — дыхание, теплота — от духа; Адам «начертан» богом пятого марта в шестом часу дня; без души он пролетал тридцать лет, без Евы жил тридцать дней,

а в раю всего был от шестого часу до девятого; сатана зародился на море Тивериадском, в девятом валу, а на небе он был не более получаса; болезни в человеке оттого, что диавол «истыкал тело Адама» в то время, когда господь уходил на небо за душой, и т. д., и т. д. Дальше Нюрочка получила самые точные сведения о «чернодневии» и о почитании двенадцати пятниц, прочитала несколько раз «Сон богородицы» и целый курс о «всескверном льстеце», то есть об антихристе. Раскольничье учение об антихристе являлось кульминационною точкой и раскольничьей космогонии, и этики, и повседневной морали, как обобществление скорбной идеи единичного уничтожения в форме смерти телесного человека. Фантазия создала здесь ряд потрясающих картин разрушения видимого мира и очищения царящего зла огнем и всевозможными муками. По учению беспоповцев, «льстец» уже народился и царствует духовно с 1666 года, чему подтверждением служат многие знамения: прежде всего «новшества», введенные Никоном патриархом, а затем разные знаки, выраженные «властными литтеры» и фигура-

ми — двуглавый орел, паспорты, клейма, карты, ликописание (портреты), присяга, печать и т. д. Дальше следовали ношение иноземной «пестрины», «власы женски на челе ежом подклейны по-бесовски и галстусы удавления вместо», «женск пол пологрудом и простоволосо» стоят в церкви и, поклонясь, «оглядываются, как козы», и мужчины и женщины по-татарски молятся на коленках и т. д. Табак, чай и кофе — три адских зелья, которыми сатана окончательно погубит человеческий род. Но это все частности и мелочи, а общее представление о последних днях складывалось в широкую картину. Горячая фантазия нагромоздила здесь последовательными степенями ряд величайших бедствий и безысходных страданий, какие только в состоянии был придумать человеческий мозг. «Воскипит земля кровию и смесятся реки с кровию; шесть поль останется, а седьмое будут сеять; не воспоет ратай в поле и из седьми сел люди соберутся во едино село, из седьми деревень во едину деревню, из седьми городов во един город». Запечатает антихрист всех «печатью чувственною», и не будет того храма,

где не было бы мертвеца. Увянет лепота женская, отлетит мужское желание и «тако возжелают седьм жен единова мужа», но в это время «изомрут младенцы в лонех матернех» и некому будет хоронить мертвых. Затворится небо, и земля не даст плода; под конец небо сделается медным, а земля железной, и «по аэру» пронесется антихрист на коне с огненною шерстью. Главная сила антихриста будет в том, что он всех «изоймет гладом», пока все не покорятся ему и не примут его печать. Все эти несчастия совершатся постепенно, по мере того как будут «возглашать» восемь труб, а когда возгласит последняя, восьмая труба, «вся тварь страхом восколеблется и преисподняя вострепещет», а земля выгорит огнем на девять локтей. Только тогда наступит второе пришествие и последний страшный суд.

Все это было так просто и ясно, что Нюрочка только удивлялась, как другие ничего не хотят замечать и живут изо дня в день слепцами. Разные умные книжки, которые она читала раньше с отцом, казались ей теперь детскою сказкой. Они ничего не объясняли ей, а мастерица Таисья открыла все тайны

жизни. Каждый шаг и каждое слово получало теперь определенный смысл, глубокое внутреннее содержание. В душе Нюрочки поднималась смутная жажда подвига, стремление к совершенству. Она точно проснулась и с удивлением смотрела на самое себя. Да, все они жили в темноте, а где-то по лесным трущобам совершалась великая тайна спасения погибшей души. Это последнее интересовало Нюрочку больше всего, и она постоянно приставала к Таисье с расспросами о пустынножителях и скитских.

— Ужо вот, погоди, как-нибудь на Святое озеро сходим, — говорила Таисья.

— А папа? Он не позволит.

— Ничего, устроим так, что позволит... Парасковья-то Ивановна на што?

У мастерицы Таисьи быстро созрел план, каким образом уговорить Петра Елисеича. С нею одной он не отпустил бы Нюрочку на богомолье, а с Парасковьей Ивановной отпустит. Можно проехать сначала в Мурмос, а там озером и тропами. Парасковья Ивановна долго не соглашалась, пока Таисья не уломала ее со слезами на глазах. Старушка сама от-

правилась на рудник, и Петр Елисеич, к удивлению, согласился с первого слова.

— Что же, пусть съездит, — задумчиво проговорил он. — Ей полезно будет проветриться... Только одно условие: я отпускаю ее на вашу ответственность, Парасковья Ивановна.

— Как свою родную дочь буду беречь, Петр Елисеич... Сама помру, а ее не дам в обиду.

— То-то, смотрите... Одна она у меня.

— Да уж будьте спокойны! Как свой глаз сберегу.

Нюрочка бросилась Парасковье Ивановне на шею и целовала ее со слезами на глазах. Один Ефим Андреич был недоволен, когда узнал о готовившейся экспедиции. Ему еще не случалось оставаться одному. А вдруг что-нибудь случится с Парасковьей Ивановной? И все это придумала проклятая Таисья, чтобы ей ни дна ни покрышки... У ней там свои дела с скитскими старцами и старицами, а зачем Парасковью Ивановну с Нюрочкой волокет за собой? Ох, неладно удумала святая душа на костылях!

Неделя промелькнула в разных сборах. Нюрочка ходила точно в тумане и считала ча-

сы. Петр Елисеич дал свой экипаж, в котором они могли доехать до Мурмоса. Занятые предстоящим подвигом, все трое в душе были против такой роскоши, но не желали отказом обижать Петра Елисеича.

— Ну, там еще по тропам-то успеем все ноги оттоптать, — утешала Таисья. — Оно, пожалуй, и лучше, потому как ваше дело непривычное.

Никогда еще Нюрочка так не волновалась, как в этот день отъезда. Минуты превращались в часы.

— Ты что это, хочешь без шляпки ехать? — удивлялся Петр Елисеич.

— В платке удобнее, папа.

Нюрочка добыла себе у Таисьи какой-то старушечий бумажный платок и надела его по-раскольничьи, надвинув на лоб. Свежее, почти детское личико выглядывало из желтой рамы с сосредоточенною важностью, и Петр Елисеич в первый еще раз заметил, что Нюрочка почти большая. Он долго провожал глазами укатившийся экипаж и грустно вздохнул: Нюрочка даже не оглянулась на него... Грустное настроение Петра Елисеича

рассеял Ефим Андреич: старик пришел к нему размыкать свое горе и не мог от слез выговорить ни слова.

— Перестаньте, Ефим Андреич, что вы...

— А ежели она умрет дорогой-то?.. Я теперь и домой не пойду: пусто там, как после покойника. А все Таисья... Расказню я ее!

Дорога до Мурмоса для Нюрочки промелькнула, как светлый, молодой сон. В Мурмос приехали к самому обеду и остановились у каких-то родственников Парасковьи Ивановны. Из Мурмоса нужно было переехать в лодке озеро Октыл к Еловой горе, а там уже идти тропами. И лодка, и гребцы, и проводник были приготовлены заранее. Оказалось, что Парасковья Ивановна ужасно боялась воды, хотя озеро и было спокойно. Переезд по озеру верст в шесть занял с час, и Парасковья Ивановна все время охала и стонала.

— Укрепись, матушка, — уговаривала ее Таисья. — Твори про себя молитву, она и облегчит.

Красивое это озеро Октыл в ясную погоду. Вода прозрачная, с зеленоватым оттенком. Видно, как по дну рыба ходит. С запада озеро

обступили синею стеной высокие горы, а на восток шел низкий степной берег, затянутый камышами. Над лодкой-шитиком все время с криком носились белые чайки-красноножки. Нюрочка была в восторге, и Парасковья Ивановна все время держала ее за руку, точно боялась, что она от радости выскочит в воду. На озере их обогнало несколько лодок-душегубок с богомольцами.

— На Крестовые острова народ собирается, — объясняла Таисья. — Со всех сторон боголюбивые народы идут: из-под Москвы, с Нижнего, с Поволжья.

Наконец, шитик пристал к берегу, где курился огонек, — это ждал подряженный Таисьей проводник, молодой парень с подстриженными в скобку волосами. Парасковья Ивановна как-то сразу обессилела и даже изменилась в лице.

— Ну, теперь уж пешком пойдем, милые вы мои трудницы, — наговаривала Таисья. — По первоначалу-то оно будет и трудненько, а потом обойдется... Да и то сказать, никто ведь не гонит нас: пойдем-пойдем и отдохнем.

На берегу опнулись чуть-чуть и пошли

прямо в гору по едва заметной тропинке. Предстояло сделать пешком верст двадцать. Проводник шел впереди, размахивая длинною палкой. Парасковья Ивановна едва поднялась на первую гору и села на камень. Она чувствовала, что дальше не может идти: и одышка ее донимала и какая-то смертная истома во всем теле. Нет, не дойти ей до озера, хоть убей на месте... Таисья ужасно всполошилась. Нюрочка любовалась открывавшимся с вершины горы видом на два озера — Октыл, а за ним Черчеж. Мурмос точно стоял на воде, а заводские церкви ярко белели на солнце, точно свечи. Господи, как хорошо!.. Оглянувшись, Нюрочка только теперь заметила, что Парасковья Ивановна сидела на камне и горько плакала.

— Не сподобил господь, — шептала она, не вытирая слез.

— Как же быть-то? — недоумевала Таисья. — Может, обойдешься, Парасковья Ивановна.

— Нет, вы не дожидайтесь меня. Я назад уйду. В Мурмосе ужо дождусь вас.

Эта разлука очень огорчила Нюрочку, но

некогда было ждать: к вечеру приходилось поспевать к Святому озеру, чтобы не «затемнать» где-нибудь в лесу. Так Парасковья Ивановна и осталась на своем камушке, провожая заплаканными глазами быстро уходивших товарок.

— Это ее они не допустили, — проговорила Таисья, оглядываясь в последний раз.

— Кто они-то?

— А угодники божий: Пахомий постник, Пафнутий болящий, Порфирий страстотерпец... Поповщины она придерживается, вот они ее и не допустили до себя. Не любят они, миленькие, кто сладко-то ест да долго спит.

Тропинка вела с горы на гору то лесом, то болотами. На Таисью напало какое-то восторженное настроение. Она смотрела на Нюрочку какими-то жадными глазами и все говорила, рассказывая о великих трудничках, почивавших на Крестовых островах, о скитском житии, о скитницах, у которых отрастали ангельские крылья. Самой Таисье казалось, что она ведет прямо в небо эту чистую детскую душу, слушавшую ее с замирающим сердцем. Она и плакала, и смеялась, и целовала

Нюрочку, и пела заунывные скитские стихи, и опять рассказывала.

— Ох, грешный я человек! — каялась она вслух в порыве своего восторженного настроения. — Недостойная раба... Все равно, как собака, которая сорвалась с цепи: сама бежит, а цепь за ней волочится, так и мое дело. Страшно, голубушка, и подумать-то, што там будет, на том свете.

Никогда Нюрочка еще не видала мастерицу Таисью такою и даже испугалась, а та ничего не замечала и продолжала говорить без конца. Этот лесной воздух, окружавшая их глушь и собственное молитвенное настроение точно опьяняли ее. Когда в стороне встречались отдыхавшие партии богомольцев, Таисья низко кланялась трудничкам и говорила:

— Как пчелки к улью летят грешные мирские душеньки.

На половине дороги они сделали привал. Нюрочка прошла целых десять верст, но пока особенной усталости не чувствовала.

— Ужо Аглаиду увидим, — говорила Таисья. — Помнишь, поди, как баушку Василису

хоронили? Она наша, ключевлянка. На могилке отца Спиридония о Петров день анбашскую головщицу Капитолину под голик загнала.

Глава 57

Косые тени уже крестили тропинку, когда из-за леса белою полосой мелькнуло Святое озеро. Нюрочка только теперь почувствовала, как она устала. Глубокое горное озеро залегло в синей раме обступивших его лесистых круч. Тропинка вывела на мысок, где курились огни и богомольцы ждали перевоза. Крестовые острова залегли в версте от берега, точно зеленые шапки. Десяток лодок-душегубок и паром из бревен не успевали перевозить прибывавших богомольцев. Вода в озере стояла, как зеркало. С низких мест уже наносило вечернею сыростью, пропитанною запахом свежей травы и лесных цветов. Таисья сразу разыскала несколько знакомых мужиков с котомками и женщин-богомолок, — народ набрался со всех сторон.

— Да это никак ключевская Таисья, — весело говорила громадная женщина, проталкиваясь к мастерице. — Она и есть... Здравствуй,

матка-свет.

— Здравствуй, матушка Маремьяна.

— Ну, каково прыгаешь, Таисьюшка?

— Вашими молитвами, родимая.

Матушку Маремьяну за глаза называли полумужичьем. Высокая, рослая, широкая, загорелая, потная, она походила на ломовую лошадь. Таисья знала ее целых тридцать лет, и матушка Маремьяна оставалась все такой же. Одним словом, богатырь-баба и голос, как хорошая труба. Проживала она где-то под Златоустом, по зимам разъезжала на своей лошадке по всему Уралу и, как рассказывали, занималась всякими делами: укрывала беглых, меняла лошадей, провозила краденое золото и вообще умела хоронить концы. Она дружила и с поповщиной, и с беспоповщиной, и с поморцами, и с православными попами. Где собирался народ — без матушки Маремьяны дело не обходилось. Таисья не совсем долюбливала ее и называла переметною сумой, но без матушки Маремьяны тоже не обойдешься, — она развозила вести обо всем, всех знала и все могла разведать.

— Словечко есть у меня до тебя, Таисьюш-

ка, — гудела матушка Маремьяна, трепля могучею рукой худенькую мастерицу. — И не маленькое словечко... Нарочно хотела ехать к тебе в Ключевской с Крестовых-то островов.

Матушка Маремьяна отвела Таисью в сторону и принялась ей быстро наговаривать что-то, вероятно, очень интересное, потому что Таисья в первый момент даже отшатнулась от нее, а потом в такт рассказа грустно покачивала головой. Они проговорили так вплоть до того, как подошел плот, и расстроенная Таисья чуть не забыла дожидавшейся ее на берегу Нюрочки.

— Ах, ласточка ты моя, забыла про тебя!.. — причитала она, лаская притихшую девочку. — Совсем оговорила меня матушка Маремьяна.

На плоту поместилось человек двадцать богомольцев, и матушка Маремьяна встала у кормового правила. Нюрочка так устала, что даже не боялась плескавшейся между бревнами воды. Плот был связан ивовыми прутьями кое-как, и бревна шевелились, как живые. Издали можно было разглядеть на Крестовых островах поднимавшийся дым костров и ка-

кое-то белое пятно, точно сидела громадная бабочка. Какой-то лысый старик стоял на коленях и громко молился. Две лодки обогнали плот. На одной из них Нюрочка узнала старика Основу и радостно вскрикнула: это был еще первый свой человек.

Когда плот тяжело подвалил к берегу, было почти уже совсем темно. В горах ночь наступает быстро. Острова были густо запушены смотревшеюся в воду зеленью, а огни дымились дальше. Нюрочка вместе с другими шагала по болоту, прежде чем выбралась на сухой берег. То, что она увидела, казалось ей каким-то сном: громадная поляна была охвачена живым кольцом из огней, а за ними поднималась зубчатая стена векового бора. Святые могилки занимали центр поляны, и около них теперь горели тысячи свеч. Пред своими аналоями кучками толпились богомольцы одного согласия: поповцы у своих исправленных попов, беспоповцы у стариков и стариц, поморцы у наставников. Около огней деление шло по месту жительства: екатеринбургские, златоустовские, невьянские, шарташские, мурмосские, самосадские, кукар-

ские, — все сбились отдельными кучками. Скитские тоже разделились на артельки: анбашские особо, заболотские и красноярские особо. Кроме своих уральских, сошлись сюда и «чужестранные» — из-под Москвы, с Поволжья, из дальних сибирских городов. Белое пятно оказалось большою палаткой, в которой засел какой-то начетчик с Иргиза. Слышалось протяжное пение, а скитские головщицы вычитывали наперебой.

Таисья переходила от одной кучки к другой и напрасно кого-то хотела отыскать, а спросить прямо стеснялась. Нюрочка крепко уцепилась ей за руку, — она едва держалась на ногах от усталости.

— Погоди, милушка, погоди, касаточка, — уговаривала ее Таисья шепотом. — Вон сколько народу, не скоро разыщешь своих-то.

Их догнал старик Основа и, показав головой на Нюрочку, проговорил:

— Айда ко мне в балаган, Таисьюшка... Вот и девушка твоя тоже пристала, а у нас место найдется.

Таисья без слова пошла за Основой, который не подал и вида, что узнал Нюрочку еще

на плоту. Он привел их к одному из огней у опушки леса, где на живую руку был сделан балаган из березовых веток, еловой коры и хвои. Около огня сидели две девушки-подростки, дочери Основы, обе крупные, обе кровь с молоком.

— Ну, теперь можно тебя и признать, барышня, — пошутил Основа, когда подошли к огню. — Я еще даве, на плоту, тебя приметил... Неужто пешком прошла экое место?

— А мы через Мурмос, — объясняла Таисья. — Парасковья Ивановна было увязалась с нами, да только обезножила.

Нюрочка познакомилась с обеими девушками, — одну звали Парасковьей, другую Анисьей. Они с удивлением оглядывали ее и улыбались.

— Нет, я не устала, — точно оправдывалась Нюрочка. — А вы?

— Мы со вчерашнего дня здесь, — объяснила старшая, Парасковья. — Успели отдохнуть.

От балагана Основы вид на всю поляну был еще лучше, чем с берега. Нюрочке казалось, что она в какой-то громадной церкви, сводом для которой служило усеянное звезда-

ми небо. Восторженно-благоговейное чувство охватило ее с новою силой, и слезы навертывались на глаза от неиспытанного еще счастья, точно она переселилась в какой-то новый мир, а зло осталось там, далеко позади. Эта народная молитва под открытым небом являлась своего рода торжеством света, правды и духовной радости. Старик Основа так любовно смотрел на Нюрочку и все беспокоился, чем ее угостить. Одна Таисья сидела на земле, печально опустив голову, — ее расстроили наговоры матушки Маремьяны. Время от времени она что-то шептала, тяжело вздыхала и качала головой.

Молились всю ночь напролет. Не успевала кончить у могилок свой канун одна партия, как ее сейчас же сменяла другая. Подождав, когда Нюрочка заснула, Таисья потихоньку вышла из балагана и отправилась в сопровождении Основы к дальнему концу горевшей линии огоньков.

— Соблазн, Таисья... — повторял Основа.

— Ох, и не говори, Аника Парфеныч!.. Кабы знатье, так и глаз сюда не показала бы...

— Мать Енафа совсем разнемоглась от

огорчения, а та хоть бы глазом повела: точно и дело не ее... Видел я ее издальки, ровно еще краше стала.

— А он тут?

— Как волк посреди овец бродит... К златоустовским пристал и все с Гермогеном, все с Гермогеном. Два сапога — пара.

Они нашли мать Енафу в крайнем балагане. Она действительно сказывалась больной и никого не принимала, кроме самых близких. Ухаживала за ней Аглаида.

— Змея... змея... змея!.. — зашипела мать Енафа, указывая Таисье глазами на Аглаиду. — Не кормя, не поя, видно, ворога не наживешь.

Аглаида молчала, как убитая, и даже не взглянула на Таисью. Основа посидел для видимости и незаметно ушел.

— Аглаидушка, што же это такое и в сам-то деле? — заговорила, наконец, Таисья дрогнувшим от волнения голосом. — Раньше телом согрешила, а теперь душу загубить хочешь...

Аглаида молчала, опустив глаза.

— Да ты што с ней разговариваешь-то? — накинулась мать Енафа. — Ее надо в воду бро-

сить — вот и весь разговор... Ишь, точно окаменела вся!.. Огнем ее палить, на мелкие части изрезать... Уж пытала я ее усовещивать да молить, так куды, приступу нет! Обошел ее тот, змей-то...

Тут случилось что-то необыкновенное, что Таисья сообразила только потом, когда опомнилась и пришла в себя. Одно слово о «змее» точно ужалило Аглаиду. Она накинулась на Енафу с целым градом упреков, высчитывая по пальцам все скитские порядки. Мать Енафа слушала ее с раскрытым ртом, точно чем подавилась.

— Вы все такие, скитские матери! — со слезами повторяла Аглаида. — Не меня, а вас всех надо утопить... С вами и говорить-то грешно. Одна Пульхерия только и есть, да и та давно из ума выжила. В мире грех, а по скитам-то в десять раз больше греха. А еще туда же про Кирилла судачите... И он грешный человек, только все через вас же, скитских матерей. На вас его грехи и взыщутся... Знаю я все!..

— Ну, ну, говори... Пусть Таисья послушает! — подзадоривала мать Енафа.

— И скажу... всем скажу!.. не спасенье у вас, а пагуба... А Кирилла не трогайте... он, может, побольше нас всех о грехах своих сокрушается, да и о ваших тоже. Слабый он человек, а душа в ем живая...

— Ты бы у красноярских девок спросила, какая у него душа! — резала мать Енафа, злобно сверкая глазами. — Нашла тоже кого пожалеть... Змей он лютый!

Мать Енафа разгорячилась, а в горячности она была скора на руку. Поэтому Таисья сделала ей знак, чтобы она вышла из балагана. Аглаида стояла на одном месте и молчала.

— Что же ты молчишь, милушка? — глухо спросила Таисья. — Все мы худы, одна ты хороша... Ну, говори.

— И скажу, все скажу... Зачем ты меня в скиты отправляла, матушка Таисья? Тогда у меня один был грех, а здесь я их, может, нажила сотни... Все тут обманом живем. Это хорошо, по-твоему? Вот и сейчас добрые люди со всех сторон на Крестовые острова собрались души спасти, а мы перед ними как представленные... Вон Капитолина с вечера на все голоса голосит, штоб меня острамить. Со-

блазн один...

— Так, так... Ах, великий соблазн, Аглаида, когда хвост попереди головы очутится. Верное ты слово сказала... Ты вот все вызнала, живучи в скитах, а то тебе неизвестно, что домашнюю беду в люди не носят. Успели бы и после разобрать, кто у вас правее, а зачем других, сторонних смущать?.. Да и говоришь-то ты совсем не то, о чем мысли держишь, скитскими-то грехами ты глаза отводишь. Молода еще, голубушка, концы хоронить не умеешь, а вот я тебе скажу побольше того, што ты и сама знаешь. Да... Кирилл-то по своему малодушию к поморцам перекинулся, ну, и тебя в свою веру оборотит. Теперь ты Аглаида, а он тебя перекрестит Аглаей, по-поморскому все грехи на том свете с Аглаиды будут взыскиваться, а Аглая стеклышком останется... Аглая нагрешит, тогда в Агнию перевернется и опять горошком покатилась. И еще тебе скажу, затаилась ты и, как змея, хочешь старую кожу с себя снять, а того не подумала, што всем отпустятся грехи, кроме Июды-христопродавца. И сейчас в тебе женская твоя слабость говорит... Ну-ко, погляди мне прямо в

глаза, бесстыдница!.. Какие ты слова сейчас Енафе-то выговаривала? И статочное ли нам с тобой дело чужие грехи разбирать, когда в своих тонем?.. Ну, что молчишь?

— Матушка! — взмолилась Аглаида, ломая руки.

— Нет, нет... — сурово ответила Таисья, отстраняя ее движением руки. — Не подходи и близко! И слов-то подходящих нет у меня для тебя... На кого ты руку подняла, бесстыдница? Чужие-то грехи мы все видим, а чужие слезы в тайне проходят... Последнее мое слово это тебе!

Таисья кликнула стоявшую за балаганом мать Енафу, и Аглаида, как сноп, повалилась ей в ноги. Это смирение еще больше взорвало мать Енафу, и она несколько раз ударила ползавшую у ее ног девушку.

— Свою скитскую змею вырастила! — шипела мать Енафа. — Ну, ползай, подколодная душа!

— Прости ты ее, матушка, — молила Таисья, кланяясь Енафе в пояс. — Не от ума вышло это самое дело... Да и канун надо начинать, а то анбашские, гляди, кончат.

— А из-за кого мы всю ночь пропустили? — жаловалась мать Енафа упавшим голосом. — Вот из-за нее: уперлась, и конец тому делу.

— Прости, матушка, и благослови, — молила Аглаида.

Нюрочка проснулась утром от ужасного, нечеловеческого крика, пронесшегося над поляной. Она без памяти выскочила из балагана.

— Это красноярская кликуша Глафира, — объяснила ей дочь Основы, выбежавшая вслед за ней. — Теперь все кликуши учнут кликать... Страсть господня!

Перед могилкой Порфирия страстотерпца в ужасных конвульсиях каталась худая и длинная женщина, которую напрасно старались удержать десятки рук. Народ обступил ее живою стеной. Никто и голоса не подавал, и в воздухе неслось мерное чтение Аглаиды, точно звенела туго натянутая серебряная струна. Не успела Глафира успокоиться, как застонал кто-то у могилки Пахомия постника, и вся толпа вздрогнула от истерического плача, причитаний и неистовых воплей. Через полчаса у могилок билось с пеной у рта до

десятка кликуш. Это было так ужасно, что Нюрочка забежала в чей-то чужой балаган и натолкнулась на дядю Мосея, которого и не узнала сгоряча. Он спокойно сидел у балагана и сумрачно смотрел куда-то вдаль.

— Зачем их бьют? — стонала Нюрочка, закрыв глаза от страха.

— Перестань дурить! — закликнул ее Мосей строго. — Бес их бьет.

Тускло горели тысячи свеч, клубами валил синий кадильный дым из кацей, в нескольких местах пели гнусавыми голосами скитские иноки, а над всем этим чистою нотой звучал все тот же чудный голос Аглаиды! За ней стояла мастерица Таисья и плакала... Не было сердца у нее на Аглаиду, и она оплакивала свою собственную слабость. Но что это такое? Голос Аглаиды дрогнул и точно порвался. Она делала видимое усилие, чтобы «договорить» канун до конца, но не могла, — лицо побледнело, на лбу выступил холодный пот, и ангельский голос погас так же, как гаснет догорающая свеча. Мастерица Таисья инстинктивно оглянулась назад, увидела стоявших рядом смиренного Кирилла и старика

Гермогена и сразу все поняла: проклятые поморские волки заели лучшую овцу в беспоповщинском стаде... На них же смотрел жигаль Мосей от своего балагана, и горело огнем его самосадское сердце. На Крестовых островах набралось много поморцев, которые признавали почивших здесь угодников. Гермогена избили на богомолье у могилки о. Спиридония именно за то, что поморцы не признавали его, а здесь они расхаживали, как у себя дома, и никто не смел их тронуть пальцем.

Вечером в Петров день мастерица Таисья с Нюрочкой потихоньку убралась с островов, точно она скрывалась от какой неминучей беды.

Глава 58

После страды семья Горбатых устроилась по-новому: в передней избе жил Макар с женой и ребятишками, а заднюю занял старик Тит с женатым сыном Фролом да с Пашкой. Домнушка очутилась, как говорила сама, ни на дворе, ни на улице и пока устроилась в прежней избе вместе с Татьяной, благо мужья у них дома появлялись только наездом. Между бабами, сбегавшимися опять на одном дво-

ре, постоянно возникали мелкие ссоришки, тем более что над ними не было железной руки свекровушки Палагеи и они могли вздорить и перекоряться от свободности. Татьяна все-таки отмалчивалась, а вздорила Домнушка с Агафьей. Старик Тит не вмешивался в эти бабьи дела, потому что до поры до времени не считал себя хозяином. Вместе с покосом кончилась и его работа, и он опять почувствовал себя лишним человеком. Впрочем, у старика завелась одна мысль, которая ему не давала покоя: нужно было завести помаленьку коней, выправить разную куренную снасть — дровни, коробья, топоры; лопаты, а там, благословясь, опять углепоставщиком сделаться. Работа своя, привычная, а по первопутку, гляди, большак Федор из орды воротится, тогда бы Тит сам-четверт в курень выехал: сам еще в силах, да три сына, да две снохи. А в дому пусть Макар с Артемом остаются. Мало-замало можно бы в Туляцком конце дворишко-другой присмотреть, чтобы в отдел уйти. У добрых людей сыновей выделяют, а тут самому приходится уходить.

Основанием для всех этих соображений

служило заготовленное в страду сено. По хозяйству Макара его хватит с лишком, — всего одна коровенка, две лошади да пять овец. Одна лошадь у Макара устарела для езды по лесу, и он все хотел променять ее, чтобы добыть получше, — вот бы и лошадь осталась, кабы Макар прямо купил себе новую. Другую бы можно было справить из задатка, когда стали бы в конторе подряд брать, а третью прихватили бы в долг. На трех-то лошадях можно вывезти коробьев двести угля. Теперь Тит берег сено, как зеницу ока, — в нем схоронено было все будущее разоренной переселением в орду семьи. Кстати у свата Коваля жеребенок по третьему году есть — поверит сват и в долг. Пока Фрол робил на домне, но все это было не настоящее, не то, чего хотелось Титу. Главное, жаль было Титу отпускать на фабрику Пашку: малыш как раз набалуется.

Своих хозяйственных соображений старый Тит, конечно, не доверял никому, но о них чутьем догадалась Татьяна, сгоревшая на домашней работе. Она с первого разу приметила, как жадничал на сене старик и как он заглядывал на состарившуюся лошадь Мака-

ра, и даже испугалась возможности того, что опять восстановится горбатовская семья в прежней силе. Ведь старому Титу только бы уйти в курень, а там он всех заморит на работе: мужики будут рубить дрова, а бабы окапывать землей и дернать кученки. А как поднимется Тит, тогда опять загонит всех снох под голик, а Татьяну и совсем сморит.

— Ишь, старый пес, чего удумал! — удивлялась Домнушка, когда Татьяна объяснила ей затаенные планы батюшки-свекра. — Ловок тоже... Надо будет его укоротить.

— И то надо, а то съест он нас потом обеих с тобой... Ужо как-нибудь поговори своему солдату, к слову замолви, а Макар-то прост, его старик как раз обойдет. Я бы сказала Макару, да не стоит.

Подстроив Домнушку, Татьяна при случае закинула словечко и младшей снохе Агафье, которая раньше над ней форсила. С ней ссорилась Домнушка, а Татьяна дружила, точно раньше ничего и не было.

— Вот погляди, старик-то в курень собирается вас везти, — говорила Татьяна молодой Агафье. — Своего хлеба в орде ты отведала, а в

курене почище будет: все равно, как в трубе будешь сидеть. Одной сажи куренной не проглотаешься... Я восемь зим изжила на Бастрыке да на Талом, так знаю. А теперь-то тебе с полугоря житья: муж на фабрике, а ты посиживай дома.

Вышедшая из богатой семьи, Агафья испугалась серьезно и потихоньку принялась расстраивать своего мужа Фрола, смирного мужика, походившего характером на большака Федора. Вся беда была в том, что Фрол по старой памяти боялся отца, как огня, и не смел сказать поперек слова.

— Ты и молчи, — говорила Агафья. — Солдат-то наш на што? Как какой лютой змей... Мы его и напустим на батюшку-свекра, а ты только молчи. А я в куренную работу не пойду... Зачем брали сноху из богатого дому? Будет с меня и орды: напринималась горя.

Одним словом, бабы приготовили глухой отпор замыслам грозного батюшки-свекра. Ждали только Артема, чтобы объяснить все. Артем приехал с Мурмоса около Дмитриевой субботы, когда уже порошил снег. Макар тоже навернулся домой, — капканы на волков ис-

правлял. Но бабьи замыслы пока остались в голове, потому что появился в горбатовском дому новый человек: кержак Мосей с Самосадки. Его зазвал Артем и устроил в передней избе.

— Вместе под Горюном робили, — говорил Артем. — Нашего хлеба-соли отведай, Мосей. Что мочегане, что кержаки — всё одно... Нечего нам друг с дружкой делить.

Артем точно обошел кержака Мосея, который даже и про свой Кержацкий конец забыл. Сидит в избе да с солдатом разговоры разговаривает, а солдат перед ним мелким бесом рассыпается. Обошел он и брата Макара, который тоже все по его делает. Что нужно было Артему от кержака — бабы ума не могли приложить. Одно оставалось: видно, Артем вместе с Мосеем мокрую пшеницу у Груздева с убившего каравана под Горюном воровали, не иначе. Домнушка проболталась, что муж привез много денег, а где их взять? Уж это верно, что вместе ихнее дело было, а вот теперь солдат и компанится с кержаком. Раза два солдат водки покупал и угощал Мосея.

— Вот в гости к твоему братцу, к Петру

Елисеичу в Крутяш пойдем, — шутил Артем.

— Отрезанный ломоть он, вот што, — угрюмо отвечал Мосей. — Он на господскую руку гнет.

Макар тоже заметно припадал к Мосею, особенно когда разговор заходил о земле. Мосей не вдруг распоясывался, как все раскольники, и сначала даже косился на Макара, памятуя двойную обиду, нанесенную им кержакам: первая обида — круг унес на Самосадке, а вторая — испортил девку Аграфену.

— Ваши-то мочегане пошли свою землю в орде искать, — говорил Мосей убежденным тоном, — потому как народ пригонный, с расейской стороны... А наше дело особенное: наши деды на Самосадке еще до Устюжанинова жили. Нас неправильно к заводам приписали в казенное время... И бумага у нас есть, штобы обернуть на старое. Который год теперь собираемся выправлять эту самую бумагу, да только согласиться не можем промежду себя. Тоже у нас этих разговоров весьма достаточно, а розним...

— Значит, обнадеживают, которые есть знающие? — спрашивал Макар.

— Правильная бумага, как следовает... Так и прозванье ей: ак. У Устюжанинова свой ак, у нас свой. Беспременно землю оборотим на себя, а с землей-то можно жить: и пашенку распахал, и покос расчистил, и репы насеял... Ежели, напримерно, выжечь лес и по горелому месту эту самую репу посеять, так урождай страшенные бывают, — по шляпе репа родится и слатимая такая репа. По скитам завсегда так репу сеют... По старым-то репищам и сейчас знать, где эти скиты стояли.

— А мочеганам уж, значит, насчет земли шабаш? — любопытствовал Макар.

— Окончательно, потому народ пригонный.

— Ежели бы мы и свой ак добыли?

— Все единственно... Уставную грамоту только не подписывайте, штобы надел получить, как в крестьянах. Мастеровым надела не должно быть, а которые обращались на вспомогательных работах, тем выйдет надел. Куренным, кто перевозкой займовался, кто дрова рубил, — всем должен выйти надел. На Кукарских заводах тоже уставную-то грамоту не подписывают.

В голове Макара эта мысль о земле засела клином. Смутно сказался тот великорусский пахарь, который еще жил в заводском лесообъездчике. Это была темная тяга к своей земле, которая прошла стихийною силой через всю русскую историю.

Солдат Артем только слушал эти толки о земле, а сам в разговоры не вступался. Он думал свое и при случае расспрашивал Мосея о скитах. Уляжется вечером на полати с Мосеем и заведет речь.

— И в скитах так же живут, — неохотно отвечал Мосей. — Те же люди, как и в миру, а только название одно: скит... Другие скитские-то, пожалуй, и похуже будут мирских. Этак вон сибирские старцы проезжали как-то по зиме... С Москвы они, значит, ехали, от боголюбивых народов, и денег везли с собой уйму.

— А много денег?

— Большие тысячи, сказывают... Ну, их, значит, старцев, и порешили в лесу наши скитские, а деньги себе забрали. Есть тут один такой-то инок... Волк он, а не инок. Теперь уж он откололся от скитов и свою веру

объявил. Скитницу еще за собой увел... Вот про него и сказывают, что не миновали его рук убитые-то сибирские старцы.

— А как его звать, убивца-то?

— Кириллом прежде звали, а ноне он перекрестился и свою полюбовницу тоже перекрестил. В лесу с ей и живет... Робенка, сказывают, прижил. Да тебе-то какая печаль? Вот еще пристал человек, как банный лист.

— А может, я сам тоже хочу в скиты уйти? — отшучивался солдат, ворочаясь с боку на бок. — Вот Домна помрет, ну, я тогда и уйду в лес...

— Перестань зря молоть, — оговаривал его степенный Мосей, не любивший напрасных слов. — Одно дело сказать, а другое и помолчать.

Старый Тит прислушивался к разговорам кержака издали, а потом начал подходить все ближе и ближе. Что же, хоть он и кержак, а говорит правильные слова. Солдат Артем поглядывал на родителя и только усмехался. По куренной работе Тит давно знал Мосея, как и других жителей, но близких сношений с кержаками старательно избегал. Титу нравилось

то, что Макар как будто гнет тоже к своей земле, к наделу. Только вот проклятый солдат замешался совсем не к числу. Раз, когда было выпито малым делом, Тит вмешался и в разговор:

— Ты, этово-тово, Мосей, правильно, хоть и оборачиваешь на кержацкую руку. Нельзя поихнему-то, по-заводскому, думать... Хозяйством надо жить: тут тебе телушка подросла, там — жеребенок, здесь — ярочка. А первое дело — лошадь. Какой мужик, этово-тово, без лошади?

— Лошадь, говоришь, родитель, нужно? — подзадоривал солдат, подмигивая Макару.

— Обнакновенно... Да ты чего, этово-тово, зубы-то скалишь, шишига? Тебе дело говорят... Вот и Мосей то же скажет.

— Ишь, как расстарался-то! — поддразнивал Артем. — Туда же, кричит...

— Да ты с кем разговариваешь-то? — накинулся на него Тит с внезапным ожесточением. — Я не погляжу, што ты солдат...

Рассвирепевший старик даже замахнулся на солдата, но тот спокойно отвел грозную родительскую руку и заговорил:

— Родитель ты наш любезный, и што это какая в тебе злость? Вот сядем рядком да поговорим ладком... У тебя на уме опять курень, — я, родитель, все могу понимать. Ты еще, может, не успел и подумать, а я уж вперед тебя понимаю. Так ведь я говорю? Ну, сделаем мы тебе удовольствие, заведем коней, всю куренную снасть, и пойдет опять каторжная работа, а толку-то никакого. Одна маета... И брательников замотаешь, и снох тоже. Тебя же бабы и учнут корить. И чего тебе, родитель, надо? Пока живи, а вперед увидим. Погоди малость, заживем и почище... Так я говорю? Тебя же жалею, родитель наш любезный!

— Не ладно ты, этово-тово, — бормотал Тит, качая своею упрямою маленькою головкой. — Обижаешь ты меня, Артем.

— Будет, родитель, достаточно поработано, а тебе пора и отдохнуть. Больно уж ты жаден у нас на работу-то... Не такие твои года, штобы по куреням маяться.

Тит понимал, что все его расчеты и соображения разлетелись прахом и что он так и останется лишним человеком. Опустив голову, старик грустно умолк, и по его сморщен-

ному лицу скатилась непрошенная старческая слезинка. Ушиб его солдат одним словом, точно камнем придавил.

Глава 59

Гуляет холодный зимний ветер по Чистому болоту, взметает снег, с визгом и стоном катится по открытым местам, а в кустах да в сухой болотной траве долго шелестит и шепчется, точно чего ищет и не находит. Волки, и те обходят Чистое болото: нечего взять здесь острому волчьему зубу. А между тем по суметам идет осторожный легкий след, точно прошел сам леший: вместо ног на снегу отпечатались какие-то ветвистые лапы. Непривычный глаз и не заметит, пожалуй, ничего. След путается, делает петли, а потом и приведет на островок, заросший гнилым болотным березняком, сосной-карлицей, кривыми горными елочками. Издали островок не отличишь в болотной заросли, а ближе в снегу чернеет что-то, не то волчье логово, не то яма, в какой сидят смолу и деготь. Под саженным сугробом снега спряталась избушка-землянка, в которой перебивается теперь бывший заболотский инок Кирилл, а теперь Конон. С ним жи-

вет в избушке сестра Авгарь, бывшая заболотская скитница Аглаида, а в мире Аграфена Гущина. С ними в избушке живет маленький сын Глеб, которому пошел уже второй год. Кирилла перекрестил старик Гермоген на Святом озере, а потом Кирилл перекрестил скитницу Аглаиду и сына Глеба.

— Отметаются все твои старые грехи, Конон, — сказал Гермоген, кладя руку на голову новообращенного. — Взыщутся старые грехи на иноке Кирилле, а раб божий Конон светлеет душой перед господом.

Крестился инок Кирилл на озере в самый день крещения, прямо в проруби. Едва не замерз в ледяной воде. Сестру Авгарь окрестил он раннею весной в том же озере, когда еще оставались забереги и лед рассыпался сосульками.

— Будь ты мне сестрой, Авгарь, — говорил Конон. — С женой великий грех жить... Адам погиб от жены Евы, а от сестры никто еще не погибал. И на том свете не будет ни мужей, ни жен, а будут только братья и сестры. В писании сказано: имущие жены в последнее время будут яко неимущие; значит, жена

грех, а про сестру ничего в писании не сказано. Твои грехи остались на рабе божией Аграфене, а раба божия Авгарь тоже светлеет душой, как и раб божий Конон. Водой и духом мы возродились от прежнего греха, а сейчас я тебе духовный брат. Одна наша вера правая, а остальные все блуждают, как стадо без пастыря.

— А мать Пульхерия? — нерешительно спрашивала Авгарь.

— И Пульхерия постит и девствует напрасно... Я ужо и ее перекрещу в нашу веру, ежели захочет настоящего спасенья. Будет моя вторая духовная сестра.

Авгарь подчинялась своему духовному брату во всем и слушала каждое его слово, как откровение. Когда на нее накатывался тяжелый стих, духовный брат Конон распевал псалмы или читал от писания. Это успокаивало духовную сестру, и ее молодое лицо точно светлело. Остальное время уходило на маленького Глеба, который уже начинал бодро ходить около лавки и детским лепетом называл мать сестрой.

— На том свете не будет ни родителей, ни

детей, — объяснял Конон. — Глеб тебе такой же духовный брат, как и я... Не мы с тобой дали ему душу.

На Чистом болоте духовный брат Конон спасался с духовкою сестрой Авгарью только пока, — оставаться вблизи беспоповщинских скитов ему было небезопасно. Лучше бы всего уехать именно зимой, когда во все концы скатертью дорога, но куда поволокешься с ребенком на руках? Нужно было «сождать», пока малыш подрастет, а тогда и в дорогу. Собственно говоря, сейчас Конон чувствовал себя прекрасно. С ним не было припадков прежнего религиозного отчаяния, и часто, сидя перед огоньком в каменке, он сам удивлялся себе.

— Каков я был человек, сестра Авгарь? — спрашивал он и только качал головой. — Зверь я был, вот что...

— И то зверь, — соглашалась сестра Авгарь. — Помнишь, как завез было меня на Бастрык-то?

— Да это што: сущие пустяки! То ли бывало... Как-то сидел я одно время в замке, в Златоусте. За беспаспортность меня усадили, ну, потом беглого солдата во мне признал один

ундер... Хорошо. Сижу я в таком разе под подозрением, а со мной в камере другой бродяга сидит, Спиридон звать. Он из Шадринского уезда... То, се, разговорились. Тоже, значит, в бегах состоял из-за расколу: бросил молодую жену, а сам в лес да в пещере целый год высидел. Голодом хотел себя уморить... Ну, сидим мы, а Спиридон мне рассказывает про все — и про жену, и про родню, и про деревню. Запала тогда мне мысль превращенная... Как бежал из замка, сейчас в Шадринский уезд и прямо в ту деревню, из которой Спиридон. Пожил там с неделю, вызнал и сейчас к жене Спиридона вечерком прихожу: «Я и есть твой самый муж Спиридон». Бабенка молодая, красивая из себя, а как увидела меня, так вся и помушнела. Жила-то она с матерью да с ребятами и себя содержала честно, а тут вдруг чужой человек мужем называется. Ну, всполошилась моя баба, а я робят ласкаю и совсем, значит, по-домашнему, как настоящий муж... Бабенка-то головой только вертит, не муж и кончено, а старуха мать по древности лет совсем помутилась в разуме и признала меня за Спиридона. Дело к ночи пришло, бабенка моя

уж прямо на дыбы... Боится тоже за свою женскую честь. Мать ее уговаривает, а она свое толмит. Тогда на меня отчаянность напала: «Пойдем, говорю, в волость, там старички меня признают...» Пошли в волость, народ сбежался, глядят на меня. Есть во мне Спиридоновы приметы, а все-таки сумлеваются. Тогда я водки выставил старикам, а жене при всех и говорю такую примету, про которую только старухи знали. Ну, тут она уж не вытерпела, упала мне в ноги и повинилась, что вполне подвержена мужу... И старички присудили ее мне: волей не пойдет, силом уводи и што хошь делай. А я еще днем наказал старухе истопить баню; все, значит, честь-честью, как заправский муж. Пошли мы в баню с женой... Притихла и только вздыхает. И после бани ничего, молчит. Хорошо... Только утром моя любезная жена на дыбы: «Нет, не муж ты мне, не Спиридон!..» Я ее за волосы, а она простоволосая на улицу и ревет, как зарезанная. Сбежался народ, оцепили избу и меня, раба божия, в волость да в темную. Едва на четвертый день я бежал из волости-то... Спроси ты меня сейчас, Авгарь, для чего я это делал?..

Вот какой лютой зверь был смиренный Заболотский инок Кирилл!.. Страха во мне не было, а одна дерзость: мало своих-то баб, — нет, да дай обесчещу у всех на глазах честную мужнюю жену.

— А настоятеля, отца Гурия, ты убил? — тихо спрашивает Авгарь.

— Нет, не я...

— Знаю, что не ты, а заболотский инок Кирилл.

Не один раз спрашивала Авгарь про убийство отца Гурия, и каждый раз духовный брат Конон отпирался. Всю жизнь свою рассказывал, а этого не признавал, потому что очень уж приставала к нему духовная сестра с этим Гурием. Да и дело было давно, лет десять тому назад.

— Я еще подростком была, как про отца Гурия на Ключевском у нас рассказывали, — говорила сестра Авгарь. — Мучили его, бедного, а потом уж убили. Серою горючей капали по живому телу: зажгли серу да ей и капали на отца Гурия, а он истошным голосом молил, штобы поскорее убили.

— Вот и врут всё ваши ключевские! — не

утерпел духовный брат Конон. — Это самое дело знает одна мать Енафа да...

— Да смиренный инок Кирилл.

— Ну, он знает, а ключевские все-таки врут... Совсем дело не так было.

— А как?

— А я почем знаю?

— Ежели говоришь, што не так, значит знаешь как. Серою зажженной капали вы с Енафой на отца Гурия, а он слезно о смерти своей молил.

— Вот и врешь, сестра! Отец-то Гурий сам бы всякого убил... Росту он был высокого, в плечах — косая сажень, а рука — пудовая гиря. Сказывали про него, что он с каторги бежал, а потом уж поселился у нас. Я с ним познакомился в скиту у Енафы. Здоровенный старичище, даром что седой весь, как лунь. Слабость у него большая была к женскому полу... С него Енафа и в дело пошла: он ее и выучил всему, значит, Гурий. Жил с ней... Федосья-то у Енафы от Гурия. Ну, а потом промежду них вздор пошел, тоже из-за баб... Уедет Гурий и кантует где-нибудь на стороне, а Енафа в скиту его грехи замаливает да свою душу

спасает. Конечно, баба она была в соку, бес ее смущает, а тут смиренный заболотский инок Кирилл подвернулся. Гурий-то пронюхал да инока Кирилла за честные власы. До полусмерти уходил... Затаил смиренный Кирилл смертную злобу на отца Гурия и три года оную воспитывал в себе. Все ждал случая... Случилось им пойти вместе в лес за дровами. Пришли. Подходит инок Кирилл с топором к отцу Гурию и говорит: «Отче, благослови!» Только поднял отец Гурий правую руку с крестом, а Кирилл его топором прямо по лбу и благословил. Даже не дохнул старик, точно его молоньей ушибло. Только и всего дела было, сестра моя духовная. А потом Кирилл привязал камень отцу Гурию на шею да в окно на Чистом болоте и спустил...

— Так это верно, что ты его убил? — в ужасе спрашивала Авгарь.

— Не я, сестра, а заблудший инок Кирилл... зверь был в образе человека. А только серой отца Гурия не пытали... Это уж врут.

Убитый о. Гурий так и засел в голове сестры Авгари, и никак она не могла выкинуть его из своих мыслей. Несколько раз она при-

нималась расспрашивать духовного брата про этого старика, но духовный брат отперся от своих слов начисто, а когда Авгарь стала его уличать, больно ее поколотил.

Особенно по ночам мучилась Авгарь. Все ей казалось, что кто-то ходит около избушки, а вдали раздаются и стоны, и плач, и дикий хохот. Ей делалось вдруг так страшно, что она не смела дохнуть. Ведь это он, о. Гурий, ходит. Его душа тоскует. Не успел он и покаяться перед смертью, да и похоронить его никто не похоронил. Вот он и бродит по ночам, ищет свою могилку. Странное что-то делалось с Авгарью: она по целым неделям точно застывала и ничего не думала, то не находила места от какого-то смутного и тяжелого раздумья. Новое согласие духовных братьев и сестер несколько ее успокоило, но оставалась неопределенная тоска. Скитская жизнь ей опротивела, как и жизнь в миру. Везде грех, человеконенавистничество и неправда. Друг дружку обманывают. А всех несчастнее бабы. Куда баба ни повернется, тут ей и грех. Только и спасенья, когда состарится. Духовный брат Конон порассказал про скитниц: ни од-

ной-то нет праведной, кроме самых древних старушек. На что крепкая мастерица Таисья, а и та приняла всякого греха на душу, когда слепой жила в скитах. С тем же Кириллом грешила. Какое-то отчаяние охватывало душу Авгари, и она начинала ненавидеть и свою молодость, и свою красоту, и свой голос. Еще на богомольях она замечала, как все заглядывались на нее, а стоило ей самой взглянуть ласковее — грех и тут.

Маленький духовный брат Глеб рос каким-то хилым и молчаливым, как осенняя поздняя травка. Мать часто подолгу вглядывалась в него, точно старалась узнать в нем другого ребенка, того несчастного первенца, которого она даже и не видала. Тогда скитницы не дали ей и взглянуть на него, а сейчас же отправили в Мурмос. Куда он девался, Авгарь так и не могла допытаться. Она не могла его забыть, а маленького духовного брата совсем не любила. Особенно сильно стала задумываться Авгарь, когда узнала, как ее духовный брат Конон убил о. Гурия. Все тосковала Авгарь, убивалась и плакала потихоньку, а наконец не вытерпела и накинулась на Коно-

на:

— Это ты, змей, убил его...

— Кого убил? — удивился Конон.

— Моего сына убил... Того, первого... — шептала Авгарь, с яростью глядя на духовного брата. — И отца Гурия убил и моего сына... Ты его тогда увозил в Мурмос и где-нибудь бросил по дороге в болото, как Гурия.

Это был какой-то приступ ярости, и Авгарь так и лезла к духовному брату с кулаками. А когда это не помогло, она горько заплакала и кинулась ему в ноги.

— Успокой ты мою душу, скажи... — молила она, ползая за ним по избушке на коленях. — Ведь я каждую ночь слышу, как ребеночек плачет... Я это сначала на отца Гурия думала, а потом уж догадалась. Кононушко, братец, скажи только одно слово: ты его убил? Ах, нет, и не говори лучше, все равно не поверю... ни одному твоему слову не поверю, потому что вынял ты из меня душу.

— Бес смущает... бес смущает... — бормотал Конон, начиная креститься. — Ребенка я в Мурмос свез, как и других. Все знают, и Таисья знает на Ключевском...

Глава 60

Ночь. Низкие зимние тучи беспрерывною грядой несутся так близко к земле, что точно задевают верхушки деревьев. Сыплется откуда-то сухой, как толченое стекло, снег, порой со стоном вырвется холодный ветер и глухо замрет, точно дохнет какая-то страшная пасть, которую сейчас же и закроет невидимая могучая рука. Авгарь лежит в своей избушке и чутко прислушивается к каждому шороху, как насторожившаяся птица. Вот храпит на печке духовный брат Конон, вот ровное дыхание маленького брата Глеба, а за избушкой гуляет по Чистому болоту зимний буран.

— Конон, слышишь?.. — шепчет Авгарь, затаив дыхание.

— А, что?.. — бормочет сквозь сон духовный брат; он спит чутко, как заяц.

— Опять стонет кто-то в болоте.

— Пусть его стонет. Сотвори молитву и спи.

— И ребеночек плачет… Слышишь? Нет, это стонет отец Гурий.

Духовный брат Конон просыпается. Ему

так и хочется обругать, а то и побить духовную сестру, да рука не поднимается: жаль тоже бабенку. Очень уж сумлительна стала. Да и то сказать, хоть кого боязнь возьмет в этакую ночь. Эх, только бы малость Глеб подрос, а тогда скатертью дорога на все четыре стороны.

— А ты голову заверни, да и спи, — советует Конон, зевая так, что челюсти у него хрустят. — Как же иноки по скитам в одиночку живут? Право, глупая.

— Ежели меня блазнит...

— Читай Исусову молитву... Ну, уж и ночь, прямо сказать: волчья... Уйдем мы с тобой из этих самых местов, беспременно уйдем. В теплую сторону проберемся, к теплому морю. Верно тебе говорю! Один человек с Кавказу проходил, тоже из наших, так весьма одобрял тамошние места. Первая причина, говорит, там зимы окончательно не полагается: у нас вот метель, а там, поди, цветы цветут. А вторая причина — произрастание там очень уж чудное. Грецкий орех растет, виноград, разное чудное былие... Наших туда ссылали еще в допрежние времена, и древлее благочестие

утверждено во многих местах.

— А турки где живут?

— Турки — другое. Сначала жиды пойдут, потом белая арапия, а потом уж турки.

— А до Беловодья далеко будет?

— Эк куда махнула: Беловодье в сибирской стороне будет, а турки совсем наоборот.

— Пульхерия сказывала, што в Беловодье на велик день под землей колокольный звон слышен и церковное четье-петье.

— Ну, это не в Беловодье, а на расейской стороне. Такое озеро есть, а на берегу стоял святый град Китиш. И жители в нем были все благочестивые, а когда началась никонианская пестрота — святой град и ушел в воду. Слышен и звон и церковная служба. А мы уйдем на Кавказ, сестрица. Там места нежилые и всякое приволье. Всякая гонимая вера там сошлась: и молоканы, и субботники, и хлысты... Тепло там круглый год, произрастание всякое, наших братьев и сестер найдется тоже достаточно... виноград...

Последние слова духовный брат проговорил уже сквозь сон и сейчас же захрапел. Авгарь опять прислушивалась к завыванию вет-

ра и опять слышала детский плач, стоны о. Гурия и чьи-то безответные жалобы. Видно, так и не уснуть ей, пока не займется серое зимнее утро. Но что это такое?.. В полосу затишья, между двумя порывами ветра, она ясно расслышала скрип осторожных шагов. Кто-то невидимый приближался к избушке, и Авгарь похолодела от охватившего ее ужаса. Она хотела крикнуть и разбудить Конона, но голос замер в груди. А шаги были все ближе... Авгарь бросилась к печи и растолкала Конона.

— Ну тебя!.. — бормотал духовный брат.

— Идут сюда! — не своим голосом шептала Авгарь, прислушиваясь к скрипу снега. — Слышишь? Уж близко...

— И то идут, — согласился Конон. — Надо полагать, кто-нибудь из скитских заплутался.

Шаги уж были совсем близко. Все затихло. Потом донесся сдержанный говор нескольких голосов.

— Ужо вздуй-ко огня, — шепнул Конон, быстро вскакивая.

Пока Авгарь возилась у печки, добывая из загнеты угля, чтобы зажечь самодельщину

спичку-серянку, чьи-то тяжелые шаги подошли прямо к двери.

— Кто там крещеный? — окликнул Конон, вставая за косяк в угол, — на всякий случай он держал за спиной топор.

— Свои скитские, — послышался мужской голос за дверью. — Заплутались в болоте. Пустите погреться.

— А сколько вас?

— Сам-друг.

— Што больно далеко заехали?

Авгарь, побелевшая от ужаса, делала знаки, чтобы Конон не отворял двери, но он только махнул на нее рукой. Дверь была без крючка и распахнулась сама, впустив большого мужика в собачьей яге.[398] За ним вошел другой, поменьше, и заметно старался спрятаться за первым.

— Мир на стану, — проговорил первый и, не снимая шапки, кинулся на Конона.

Завязалась отчаянная борьба. Конон едва успел взмахнуть своим топором, как его правая рука очутилась точно в железных клещах. Его повалили на землю и скрутили руки назад. Стоявшая у печки Авгарь с криком бро-

силась на выручку, но вошел третий мужик и, схватив ее в охапку, оттащил в передний угол.

— Ты покеда тут со старицей побеседуй, — проговорил большой мужик, — а нам надо со старцем поговорить малость... Эй ты, волчья сыть, не шеперься!

Двое мужиков схватили Конона и поволокли из избушки. Авгарь с невероятною для бабы силой вырвалась из рук державшего ее мужика, схватила топор и, не глядя, ударила им большого мужика прямо по спине. Тот вскинулся, как ошпаренный, повалил ее на пол и уже схватил за горло.

— Не тронь, Артем! — крикнул мужик, державший Авгарь в углу. — Оставь...

— Она меня чуть не зарубила! — сказал солдат, с ворчаньем оставляя свою жертву.

Авгарь узнала Макара и вся точно оцепенела. Она так и осталась на полу.

— Вставай, Аграфена, — говорил Макар, стараясь ее поднять.

— Они его убьют... — шептала Авгарь в ужасе. — Зачем вы пришли, душегубы? Ты уж раз убил меня, а теперь пришел убивать во

второй... Аграфены нет здесь... она умерла давно.

Макар ничего не отвечал, а только загородил своею фигурой дверь, когда Авгарь поднялась и сделала попытку вырваться из избушки. Она остановилась против него и быстро посмотрела прямо в глаза каким-то остановившимся взглядом, точно хотела еще раз убедиться, что это он.

— Макарушка, голубчик... — ласково зашептала она, стараясь отвести его руку от дверной скобы. — Ведь его убьют... Макарушка, ради истинного Христа... в ножки тебе поклонюсь...

— И пусть убьют: собаке собачья и смерть, — грубо ответил Макар. — Затем пришли.

Деланая ласковость Авгари сейчас же сменилась приступом настоящей ярости. Она бросилась на Макара, как бешеная, и повисла на его руке, стараясь укусить. Он опять схватил ее в охапку и снес в передний угол.

— Ребенка задавишь! — кричала Авгарь, барахтаясь.

Это слово точно придавило Макара, и он

бессильно опустился на лавку около стола. Да, он теперь только разглядел спавшего на лавке маленького духовного брата, — ребенок спал, укрытый заячьей шубкой. У Макара заходили в глазах красные круги, точно его ударили обухом по голове. Авгарь, воспользовавшись этим моментом, выскользнула из избы, но Макар даже не пошевелился на лавке и смотрел на спавшего ребенка, один вид которого повернул всю его душу.

— Змея! — прошептал он и замахнулся на ребенка кулаком.

Один момент — и детская душа улетела бы из маленького тельца, как легкий вздох, но в эту самую минуту за избушкой раздался отчаянный, нечеловеческий крик. Макар бросился из избушки, как был без шапки. Саженях в двадцати от избушки, в мелкой березовой поросли копошились в снегу три человеческих фигуры. Подбежав к ним, Макар увидел, как солдат Артем одною рукой старался оттащить голосившую Аграфену с лежавшего ничком в снегу Кирилла, а другою рукой ощупывал убитого, отыскивая что-то еще на теплом трупе.

— Што вы делаете, душегубы? — крикнул Макар, отталкивая Артема. — Креста на вас нет!

— Порешили! — спокойно ответил Мосей, стараясь затоптать капли крови на снегу. — Волка убили, Макар. Сорок грехов с души сняли.

— Братик миленький! голубчик! — причитала Авгарь, вцепившись руками в убитого духовного брата.

— Перестань выть! — крикнул на нее Мосей и замахнулся. — Одного волка порешили, и тебе туда же дорога.

Его удержал Макар. Он опять взял Аграфену в охапку и унес в избушку. Мосей проводил его глазами и только сердито сплюнул. Сейчас лицо у него было страшное, и он в сердцах пнул ногой Артема, продолжавшего обыскивать убитого Кирилла.

— Вот она где... — шепотом говорил Артем, срывая с убитого кожаную сумку, которую тот носил под рубахой.

Эта жадность возмутила Мосея до глубины души, и он с удовольствием порешил бы и солдата вместе с вероотступником Кириллом.

Два сапога — пара... И Макар тоже хорош: этакое дело сделали, а он за бабенкой увязался! Непременно и ее убить надо, а то еще объявит после. Все эти мысли пронеслись в голове Мосея с быстротой молнии, точно там бушевала такая же метель, как и на Чистом болоте.

— Ну, а теперь куды мы его денем? — спрашивал Артем, запрятывая кожаную сумку за пазуху. — Здесь не годится оставлять... Та же Аграфена пойдет да на нас и докажет.

— Увезем, видно, с собой мертвяка, — решил Мосей, раздумывая. — Тут от Бастрыка есть повертка к старому медному руднику, там на ём есть одна обвалившаяся шахта, ну, мы его туды и спустим. Не стоит провозу-то, гадина!

Убитый Кирилл лежал по прежнему в снегу ничком. Он был в одной рубахе и в валенках. Длинные темные волосы разметались в снегу, как крыло подстреленной птицы. Около головы снег был окрашен кровью. Лошадь была оставлена версты за две, в береговом ситнике, и Мосей соображал, что им придется нести убитого на руках. Эх, неладно, что он

связался с этими мочеганами: не то у них было на уме... Один за бабой погнался, другой за деньгами. Того гляди, разболтают еще.

В избушке в это время происходила тяжелая сцена. Авгарь сидела на лавке и остановившимся мутным взглядом смотрела на одну точку.

— Груня, Грунюшка, опомнись... — шептал Макар, стоя перед ней. — Ворога твоего мы порешили... Иди и объяви начальству, што это я сделал: уйду в каторгу... Легче мне будет!.. Ведь три года я муку-мученическую принимал из-за тебя... душу ты из меня выняла, Груня. А что касаемо Кирилла, так слухи о нем пали до меня давно, и я еще по весне с Гермогеном тогда на могилку к отцу Спиридонию выезжал, чтобы его достигнуть.

— Уйди... Я тебя не знаю, — отвечала Авгарь. — Аграфены давно нет... Зачем вы сюда пришли?

— Груня, опомнись...

Авгарь поднялась, посмотрела на Макара страшными глазами и проговорила:

— Будь ты от меня проклят, убивец!..

Часть VI

Глава 61

Луку Назарыча, служившего главным управляющим всех мурмосских заводов в течение тридцати лет, внезапно уволили. Для заводов это было громадным событием, особенно в мире заводских служащих. Когда эта весть разнеслась, старики служаки только качали головами: что же может быть без Луки Назарыча? Он являлся для заводов чем-то вроде грозной и роковой судьбы, от которой все исходит и к которой все приходит. И вдруг Луки Назарыча не стало... Новость была ошеломляющая, а впереди совершенно неизвестное будущее... Что касается причин такого переворота, то о них только могли догадываться, потому что инициатива шла из Петербурга, из таинственных глубин главного столичного правления. Невидимая рука свергла Луку Назарыча, и новый главный управляющий вставал грозным призраком. Насколько догадывался сам Лука Назарыч, вся катастрофа разразилась благодаря уменьшению дивидендов. Наследники Устюжанинова не хотели

ничего знать о новых условиях заводского труда, — им нужны были только доходы.

Свергнутый главный управляющий оставался по-прежнему в Мурмосе, где у него был выстроен свой дом. Расстаться с Мурмосом Лука Назарыч был не в силах. Все дело повернули так круто, что заводы остались на некоторое время совсем без головы. Работа все-таки шла своим обычным ходом, по раз заведенному порядку, хотя это было только одною внешностью: душа отлетела... По наружному виду все осталось по-прежнему, но это была иллюзия: рабочие опаздывали, подряды не исполнялись, машины останавливались. Не было того грозного взгляда, который все видел и перед которым все трепетало. Даже дым, и тот валил из высоких заводских труб как-то вяло, точно удивлялся сам, что он еще может выходить без Луки Назарыча.

Так прошел август и наступил сентябрь. Прохарчившееся в страду население роптало. Мастеровые каждый день собирались около заводской конторы и подолгу галдели. Контора сама ничего не знала, и канцелярская сложная машина так же бездействовала, как

и фабрика. Даже на базаре остановилась всякая продажа, и только бойко торговали одни груздевские кабаки.

Новый главный управляющий приехал в конце октября, когда его никто и не ожидал. Он приехал на почтовых, как самый обыкновенный проезжающий, и даже спросил вежливо разбуженного Аристашку, может ли он остановиться в господском доме?

— Да вы-то кто такие будете? — дерзко спрашивал Аристашка, оглядывая дорожный полушубок незваного гостя.

— Я-то? Я — главный управляющий Голиковский, — спокойно отрекомендовался гость.

Аристашка оцепенел, как дупель, над которым охотничья собака сделала стойку. Он заметил всего одно: новый главный управляющий был кос на левый глаз, тогда как он, Аристашка, имел косой правый глаз. Управляющий бойко взбежал во второй этаж, осмотрел все комнаты и коротко приказал оставить себе всего две — кабинет и приемную, а остальные затворить.

— А как же спальная, например? — полю-

бопытствовал Аристашка.

— Я буду спать в кабинете... Да. А топить целую анфиладу не нужных никому комнат очень дорого... Завтра утром в шесть часов подашь мне самовар.

Багаж главного управляющего заключался всего в одном чемоданчике, что уже окончательно сконфузило Аристашку. Верный слуга настолько растерялся, что даже забыл предупредить конторских служителей о налетевшей грозе, и сам чуть не проспал назначенные шесть часов. Когда он подал самовар прямо в кабинет, Голиковский вынул из кармана дешевенькие серебряные часы с копеечною стальною цепочкой и, показывая их Аристашке, заметил:

— Ты опоздал на целых шесть минут... Если еще раз повторится подобная вещь, можешь искать себе другое место. Я человек аккуратный... Можешь уходить.

Аристашка только замычал, с удивлением разглядывая новое начальство. Это был небольшого роста господин, неопределенных лет, с солдатскою физиономией; тусклый глаз неопределенного цвета суетливо ерзал по сто-

ронам. Дорожный костюм был сменен горно-инженерским мундиром. Все движения отличались порывистостью. В общем ничего запугивающего, как у крепостных управляющих, вроде Луки Назарыча, умевших наводить панику одним своим видом.

В семь часов новый управляющий уже был в заводской конторе. Служащих, конечно, налицо не оказалось, и он немедленно потребовал бухгалтера, с которым без дальних разговоров и приступил к делам.

— У Луки Назарыча был свой секретарь, — заикнулся было бухгалтер, — так вы, может быть...

— Нет, я сам, слава богу, грамоте немного учился и привык все делать своими руками.

«Ну, ты, брат, видно, из молодых да ранний!» — с грустью подумал бухгалтер, растворяя шкафы с делами.

Общее впечатление главный управляющий произвел на своих будущих сослуживцев неблагоприятное. Не успел человек приехать и сейчас к делам бросился. «Погоди, брат, упыхаешься, а новая метла только сначала чисто метет». Наружность тоже не понрави-

лась, особенно правый глаз... Старик бухгалтер, когда начальство ушло, заявил, что «в царствии святых несть рыжих, а косых, а кривых и подавно».

В то же утро в Ключевской завод летел нарочный к Мухину с маленькою запиской от «самого», в которой выражалось любезное желание познакомиться лично с уважаемым Петром Елисеичем, и чем скорее, тем лучше. Мухин не заставил себя ждать и тотчас же отправился в Мурмос. Это обращение Голиковского польстило ему, как выражение известного внимания. Он остановился в доме Груздева, где царил страшный беспорядок: хозяйничала одна Наташка, а Самойло Евтихыч «объезжал кабаки».

Голиковский встретил гостя очень любезною фразой:

— Я много слышал о вас, дорогой Петр Елисеич, и поэтому решился прежде всего обратиться к вам, как к будущему сотруднику по управлению заводами.

Мухину ничего не оставалось, как только кланяться и благодарить. Беседа происходила в кабинете, куда Аристашка подал самовар.

— Считаю долгом предупредить, что я прежде всего человек последовательный и могу показаться в этом отношении даже придирчивым, — говорил Голиковский, расхаживая по кабинету. — Характер в каждом деле прежде всего, а остальное уже пойдет само собой... Я знаю, что заводское хозяйство запущено, в чем и не обвиняю своего предшественника, как человека, не получившего специального образования. Было бы несправедливостью требовать от него невозможного... А с вашими взглядами я познакомился по вашему проекту необходимых реформ, который валялся в петербургской конторе. Кроме того, я имею самые подробные сведения о своих теперешних сослуживцах и должен буду начать свою деятельность с очистки. Печальная и неприятная необходимость... Знаю и о вашем годовом изгнании. Вы получили образование за границей?

— Да... Но это было так давно, и я успел состариться еще при крепостном режиме...

— Да, да, понимаю... У нас везде так: нет людей, а деловые люди не у дел. Важен дух, душа, а остальное само собой.

Слишком быстрая откровенность и торопливость мысли не понравились Петру Елисеичу, хотя он и не любил делать заключений по первому впечатлению.

Беседа затянулась на несколько часов, причем Голиковский засыпал нового друга вопросами. Петра Елисеича неприятно удивило то, что новый управляющий главное внимание обращал больше всего на формальную сторону дела, в частности — на канцелярские тонкости. Мимоходом он дал понять, что это уже не первый случай, когда ему приходится отваживаться с обессиленным заводом, как доктору с больным.

— Ведь я знаю главную язву, с которой придется бороться, — говорил Голиковский на прощанье, — с одной стороны, мелкое взяточничество мелких служащих, а с другой — поблажка рабочим в той или другой форме... Каждый должен исполнять свои обязанности неуклонно — это мой девиз.

Глава 62

Первою жертвой нового главного управляющего сделался Палач, чего и нужно было ожидать. С назначением в заводские управи-

тели Палач пьянствовал безобразно и оставался на месте только благодаря покровительству Луки Назарыча. Железное здоровье Палача еще выдерживало невозможную жизнь, хотя по наружности он уже сильно изменился — обрюзг, потолстел, вообще опустился. Из красавца мужчины он с поразительною быстротой превращался в пропойцу. Отставка не образумила его, а, как все безнадежно погибшие люди, он обвинил в случившемся других и прежде всего Петра Елисеича, который назначен был вместо него управителем завода и, кроме того, оставлен в прежней должности рудникового управителя. Палач полетел в Мурмос для личных объяснений с Голиковским, но даже не был принят. Оставалось утешаться вместе с Лукой Назарычем. Пока с горя Палач закутил «во вся тяжкие», как умеет это делать только замотавшийся русский человек. Он по-приятельски остановился в груздевском доме и чувствовал себя здесь прекрасно.

Петр Елисеич, прежде чем переехать в господский дом, должен был переделывать его почти заново, чтобы уничтожить в нем все

следы палачиного безобразия. Нюрочка была чрезмерно рада, что опять будет жить в своей маленькой комнате, что у них будет сарайная, свой огород, — все это было так ей дорого по ранним детским впечатлениям.

— А Домнушка не будет у нас жить? — спрашивала она отца с детской наивностью. — И казачка Тишки не будет?.. Ах, если бы к нам переехала Парасковья Ивановна, папа!

— Нельзя же всех собрать в один дом, — ласково отвечал Петр Елисеич. — Ты теперь большая и можешь ходить или ездить к Парасковье Ивановне хоть каждый день.

Нюрочке было пятнадцать лет, но смотрела она совсем большою, не по годам. Высокая, стройная, с красивым и выразительным личиком, она хотя и не была записною красавицей, но казалась такою миловидной, как молодое растение. Особенно хороши были глаза, когда Нюрочка о чем-нибудь задумывалась. Парасковья Ивановна лелеяла и холила развертывавшуюся на ее глазах девичью красу с каким-то восторженным чувством, как редкую и дорогую гостью. Нюрочке делалось да-

же совестно, когда добрая старушка ухаживала за ней и любовными глазами провожала каждое ее движение. Живя на руднике, она бывала у Парасковьи Ивановны по нескольку раз в день, поэтому переезд с Крутяша в завод ей казался таким далеким путешествием, точно она переселялась по меньшей мере на край света. В свою очередь Парасковья Ивановна уже несколько раз принималась оплакивать свою любимицу, точно хоронила ее. Ефим Андреич тоже морщился и тихонько вздыхал про себя.

— Я приду проститься с вами, Парасковья Ивановна, — предупреждала Нюрочка заранее.

Это была еще первая тяжелая разлука в жизни Нюрочки. До этого времени для нее люди приблизительно были одинаковы, а все привязанности сосредоточивались дома. Чтобы отдалить прощание с Парасковьей Ивановной, Нюрочка упросила отца отложить переезд хоть на один день.

Прощаться к Парасковье Ивановне пошла Нюрочка пораньше утром, когда Ефима Андреича не было дома. В это время старушка

обыкновенно пила чай. Нюрочку охватило сильное волнение, когда она дернула за веревочку у калитки. В окне сейчас же мелькнуло лицо Парасковьи Ивановны, и калитка распахнулась. Нюрочка торопливо вбежала на крыльцо, прошла темные сени и, отворив двери, хотела броситься прямо на шею старушке, но в горнице сидела мастерица Таисья и еще какая-то незнакомая молодая женщина вся в темном. Весь план прощанья с Парасковьей Ивановной расстроился сразу.

— Все свои, — успокаивала ее Парасковья Ивановна. — Это сестра Авгарь, — объяснила она, указывая на сидевшую в уголке незнакомую женщину. — Из наших тоже.

Нюрочка заметила только бледное лицо и глубоко надвинутый на глаза темный платок.

— Не признала, видно, сестру-то? — с обычней ласковостью спрашивала Таисья, целуя Нюрочку. — А помнишь, как на Самосадке баушку Василису хоронили? Ну, так мать Енафа привезла тогда из скитов головщицу... Она самая и есть. Тоже на Крестовых видела...

Нюрочка сильно смутилась, — у ней в голове мелькнул образ того черного ангела, ко-

торый запечатлелся в детской памяти с особенною рельефностью. Она припомнила дальше, как ей сделалось больно, когда она увидела этого черного ангела разговаривающим у ворот с обережным Матюшкой. И теперь на нее смотрели те же удивительные, глубокие серые глаза, так что ей сделалось жутко. Да, эта была она, Аглаида, а Парасковья Ивановна называет ее Авгарью.

— А я пришла прощаться с вами, Парасковья Ивановна, — заговорила Нюрочка. — Сегодня вечером мы переезжаем.

— Какое прощаться, голубчик: не на век расстаемся, — оговорила ее Парасковья Ивановна, стеснявшаяся при посторонних. — Невелико место от Крутяша до господского дома в заводе.

По неловкому молчанию сидевших гостей Нюрочка поняла, что она помешала какому-то разговору и что стесняет всех своим присутствием. Посидев для приличия минут десять, она начала прощаться. Сцена расставанья прошла довольно холодно, а Парасковья Ивановна догнала Нюрочку уже в сенях, крепко обняла и торопливо перекрестила

несколько раз. Когда Нюрочка выходила из горницы, Таисья сказала ей:

— А ты, барышня, заезжай ужо ко мне-то в гости... Не побрезгуй нашим убожеством. Што-то давненько не бывала у меня.

Вообще все случилось не так, как ожидала Нюрочка. Она даже была несколько обижена за собственное волнение, разрешившееся ничем. Впрочем, это чувство недовольства быстро исчезло в суматохе переезда, и Нюрочка думала о разных хозяйственных комбинациях. Например, Сидор Карпыч, — где он будет жить? Впрочем, он, наверное, поместится в сарайной, как раньше, а Катря будет жить в кухне. Весной она будет разводить сад, а в саду устроит цветник. В огороде еще сохранилась старая оранжерея — ее нужно будет возобновить. Вообще все отлично, по крайней мере лучше в десять раз, чем в Крутяше или на Самосадке.

В господском доме встретила Домнушка хлебом-солью. Она всплакнула от радости, целуя Нюрочку.

— Где ты нынче живешь, Домнушка? — спрашивала ее Нюрочка.

— Я, барышня, нынче по-богатому живу, — объясняла Домнушка шепотом. — Мой-то солдат свою избу купил... Отделились из родительского дома. Торговать хочет мой солдат... Даже как-то совестно перед другими-то!

— Значит, ты совсем богатая?

— Купчихой буду, Нюрочка... Слава богу, вот и Палача выгнали, а вы опять в старое гнездышко. Какая вы большая, барышня, стали... Совсем невеста. Ужо, того гляди, жених подкатит...

— Какой жених?

— А такой... Не нами это заведено, не нами и кончится. Все живет девушка, ничего не знает, а тут и свои крылышки отрастут. Не век вековать с отцом-то... Был у меня и женишок для вас на примете, да только не стоит он красоты вашей. Балуется очень... По крышам вместе, бывало, лазили ребячьим делом.

Нюрочка даже покраснела от этой бабьей болтовни. Она хорошо поняла, о ком говорила Домнушка. И о Васе Груздеве она слышала, бывая у Парасковьи Ивановны. Старушка заметно ревновала ее и при случае, стороной, рассказывала о Васе ужасные вещи. Совсем

мальчишка, а уж водку сосет. Отец-то на старости лет совсем сбесился, — ну, и сынок за ним. Видно, яблоко недалеко от яблони падает. Вася как-то забрался к Палачу, да вместе целых два дня и пьянствовали. Хорош молодец, нечего сказать!

Переезд в господский дом являлся для Нюрочки чем-то особенным, а не просто переменой одной квартиры на другую. Она предчувствовала, что случится с ней что-то необыкновенное именно в этом старом господском доме, и волновалась смутным предчувствием этого таинственного будущего. И отец относился к ней теперь иначе. Он уже говорил с ней как с большой и в трудных случаях даже советовался, как поступить лучше.

Из прежней прислуги в господском доме оставался один сторож Антип, для которого время, кажется, не существовало. Он по прежнему стучал по ночам в свою чугунную доску, а целые дни спал в караушке, как старый кот. Для развлечения старик отправлялся на плотину к Слепню, сидел у него по целым часам, нюхал табак, а по праздникам они вместе ходили в кабак к Рачителихе. Он встретил ста-

рых господ совершенно равнодушно, точно так все и должно быть, а вечером пришел поздравить с новосельем. Нюрочка вынесла ему стакан водки, и старик, глядя на нее, в раздумье проговорил:

— Однако, тово... большая стала наша барышня.

Сидор Карпыч был доволен, кажется, больше всех, особенно когда устроился в сарайной. Он терпеть не мог переездов с места на место, а сейчас ворчал себе под нос, что в переводе означало довольство. Нюрочка сама устроила ему комнату, расставила мебель, повесила занавески.

— Теперь хорошо? — спрашивала она, счастливая своими хлопотами.

— Пожалуй...

За этою работой застал Нюрочку о. Сергей, который нарочно поднялся в сарайную. Петр Елисеич ушел на фабрику.

— Вот это хорошо, — похвалил он немного смутившуюся девушку. — Вдвойне хорошо, потому что и дело, и доброе дело.

В последние годы Нюрочка видала о. Сергея крайне редко и только в церкви. Но виной

здесь было не расстояние от Крутяша, а влияние Парасковьи Ивановны, не любившей никонианских попов. Прямо она ничего не говорила против о. Сергея, а выражалась вообще в антипоповском духе. У Нюрочки сказалась смутная антипатия к православному духовенству, хотя лично о. Сергея она любила еще по детским воспоминаниям. Теперь, под влиянием этого двойственного чувства, она смотрела на о. Сергея смущенным взглядом, точно была в чем-то виновата перед ним.

— Батюшка, пойдемте в комнаты туда... — приглашала Нюрочка. — Папа скоро вернется с фабрики.

— Я подожду. Продолжайте свое дело, а я посижу.

Он так пытливо и проницательно смотрел, что Нюрочка даже покраснела. Ей вдруг сделалось неловко. А о. Сергей все сидел и, не торопясь, расспрашивал ее о разных разностях, как старый и хороший друг.

— Давненько мы с вами не видались, Анна Петровна... Много воды утекло: вы вот выросли, а я начинаю стариться. Да... Теперь поближе будем жить, так и встречаться чаще при-

дется.

Нюрочка ответила несколько раз совсем невпопад, так что о. Сергей посмотрел на нее какими-то печальными глазами.

— Да, большая, совсем большая девица, — вслух думал он. — А чем больше человек, тем и ответственность больше.

Глава 63

Напротив базара, на самом видном месте, строился новый двухэтажный дом, вызывавший общие толки и пересуды. Дело в том, что он строился совсем на господскую руку — с фундаментом, подвалом, печкой-голландкой и другими затеями.

— Ай да солдат! ай да Артем!.. — повторял каждый, невольно останавливаясь перед постройкой. — Этакую махину заворотил, подумаешь... Ну и солдат, а?

Солдат «сидел на базаре» уже близко года. Сначала он выехал на саночках: поставил зеленый тагальский сундук и привез его на базар. Это знаменательное событие произошло в воскресенье, когда на базаре толчется от нечего делать много народа. Все обступили солдата и ждали, что из этого будет. «Гли, ро-

бята, торговать хочет солдат-от!» — крикнул какой-то бойкий голос в толпе. Действительно, все поступки солдата обличали приступ к чему-то необыкновенному. Он прежде всего снял шапку, помолился на церковь, потом раскланялся на четыре стороны, раскрыл сундук и крикнул:

— Эй, у кого рука легкая: покупай... магазин открываю!

В сундуке оказалась всевозможная дрянь, начиная с пряников и орехов и кончая дешевыми платками, тесемками, нитками, пуговками. Первою покупательницей явилась отпетая дровосушка Марька, позарившаяся на кумачный платок с желтыми разводами. Солдат отдал ей платок чуть не даром, как делают настоящие торговые. Около солдата собралась целая толпа, галдевшая и вышучивавшая нового купца. Сбежались даже старые заводские торгаши, обросшие в своих деревянных лавчонках мохом, старуха Анкудиниха, торговавшая разною мелочью, хромой и кривой старик Желтухин, сидевший с крестьянским товаром, лысый Вилок, продававший мочала, деревянную посуду, горшки и гвозди,

и т. д. Усидели на местах только груздевские приказчики — Илюшка, торговавший красным товаром, бывший казачок Тишка и старший сын Основы, степенный и молчаливый мужик Степан, промышлявший разным харчем, мукой и солью.

— Эй ты, новый торговый — старый нищий! — крикнул Илюшка из-за прилавка солдату. — С прибылью торговать...

Так открыл торговлю солдат, выезжая по воскресеньям с своим зеленым сундуком. А потом он сколотил из досок балаган и разложил товар по прилавку. Дальше явилась лавчонка вроде хлевушка. Торговля шла у солдата хорошо, потому что он стал давать поденщицам в долг под двухнедельную выписку, а получать деньги ходил прямо в контору. Через два месяца зеленый сундук явился уж с крупой, солью и разным приварком.

— На два магазина расторговался наш солдат, — смеялись старые базарные сидельцы. — Что хочешь — того просишь.

К весне солдат купил место у самого базара и начал строиться, а в лавчонку посадил Домнушку, которая в первое время не знала, куда

ей девать глаза. И совестно ей было, и мужа она боялась. Эта выставка у всех на виду для нее была настоящею казнью, особенно по праздникам, когда на базар набирался народ со всех трех концов, и чуткое ухо Домнушки ловило смешки и шутки над ее старыми грехами. Особенно доставалось ей от отчаянной заводской поденщицы Марьки.

— У, толсторылая! — ругали Домнушку бабы. — Раньше-то в машинной торговала, а теперь на базар выехала.

Ничего хуже солдат не мог придумать, если бы желал извести жену. Каждое утро Домнушка отправлялась на базар, как на пытку. И бабы ее донимали, и сидельцы, и бывшие дружки, как Спирька Гущин. На Домнушку нападало какое-то отчаяние, то тупое отчаяние, когда человек наслаждается собственными муками. «Хоть бы помереть», — часто думала несчастная, изнывая смертною тоской. А солдат точно ничего не замечает и похаживает по базару гоголем. Он больше всего любил подсесть к кому-нибудь за прилавок и играть в шашки, а то возьмет у Илюшки Рачителя гармонику и наигрывает без конца. Дом-

нушка стала примечать, что груздевские приказчики незаметно подчиняются Артему, а он наговаривает им свои мудреные слова. Все говорит, а сам смеется. Как засмеется Артем, так у Домнушки и упадет бабье сердце, и чувствует, что вся она точно чужая и что все она сделает по-солдатову, только поведет он пальцем.

Из знакомых у Домнушки оставалась одна Дунька Рачителиха, к которой ей приходилось завертывать все реже. И некогда бабьим делом, да и Рачителиха стала нос задирать перед другими бабами. Благодаря пьянству Груздева она теперь хозяйничала в кабаке по-своему и, как знала Домнушка, загребала хозяйскую выручку. Да и змееныш Илюшка охулки на руку не клал и тоже тащил из своей лавки жареным и вареным. Только еще молод был Илюшка и не знал, как быть с наворованным. До поры до времени он припрятывал товар у матери, а у себя оставлял только деньги.

— В двои руки с матерью-то Илюшка грабит Груздева, — кричал на весь базар Полуэхт Самоварник. — В острог бы их обоих!

Рачителиха относилась к Домнушке свысока и, кроме того, недолюбливала ее за подходы Артема к Илюшке. Недаром льнет проклятущий солдат к парню, такому научит, что и не расхлебаешь после. Ничего спроста не сделает Артем... Чтобы обидеть Домнушку, Рачителиха несколько раз спрашивала ее:

— А скажи, бабонька, много тогда брательники добра вывезли, когда ездили скиты зорить и старца Кирилла зарезали?

— Ничего я не знаю, Дунюшка... Не моего это ума дело. Про солдата не поручусь — темный человек, — а Макар не из таковских, чтобы душу загубить.

— Сказывай... Вместе с солдатом, поди, скитское-то добро прятала.

— И ничего я не знаю, Дунюшка.

— Дом теперь на убитые денежки ставите, — язвила Рачителиха. — С чего это распыхался-то так твой солдат? От ниток да от пряников расторговался... Уж не морочили бы лучше добрых людей, пряменько сказать.

— Мало ли, Дунюшка, и про тебя разного болтают, — корила Домнушка в свою очередь. — Всего не переслушаешь.

Сначала эти разговоры об убийстве старца очень волновали Домнушку, а потом она как-то привыкла к ним и сама начала подозревать, что дело нечисто и что от Артема все станется. Но как ни кричали об этом почти открыто, при старом Тите никто не решался ни слова пикнуть. Старик, конечно, кое-что слышал стороной, но относился к разговорам совершенно безучастно, точно дело шло о чужих людях. Артем теперь ухаживал за отцом и даже вел бесконечные разговоры на тему о своей земле. Не веривший ни одному слову вертоватого солдата старик на время как будто отмякал и оживлялся.

— Погоди, родитель, будет и на нашей улице праздник, — уверял Артем. — Вот торговлишку мало-мало обмыслил, а там избушку поставлю, штобы тебя не стеснять... Ну, ты и живи, где хошь: хоть в передней избе с Макаром, хоть в задней с Фролом, а то и ко мне милости просим. Найдем и тебе уголок потеплее. Нам-то с Домной двоим не на пасынков копить. Так я говорю, родитель?

— Спасибо на добром слове, Артем... Родителев и закон велит воспитывать, этово-тово.

Закон такой обозначен... Вон ноне молодятник-то как балуется: совсем стариков не слушает. В кабаке у Рачителихи с сватом Ковалем сидим на той неделе, а туда кержачонок Тишка с моим Пашкой и пришли да прямо полштофа водки и спрашивают... Материно молоко на губах не обсохло, а они в кабак. Ну, я на Пашку, за волосья его, а он на меня же, на родителя... А Тишка его подущает. Страм, этово-тово, хоть в кабак не ходи. Прежде-то этого не было... Кержачата балуются, а за ними и наши мочегане тянут.

— Ужо надо Пашку постращать, — грозился Артем для успокоения отца. — Распоследнее это дело... Отодрать его, подлеца, первым делом!

— Поучил я его малым делом тогда дома, а он как расстервенится, этово-тово... То-то змееныш!

— А мы его в волости отдерем, ежели што... Не моги перечить родителю, и конец тому делу.

— Страм, этово-тово, ежели в волости...

Единственным утешением для Тита было сходить к свату Ковалю и поболтать с ним, а

от свата пройти к Рачителихе.

— Ну, што кажешь, сват Тит? — спрашивал каждый раз Коваль.

— А ничего...

— Дуже скверно, сват... Пранцеватые хлопцы роблят з нами лихо. Оттак!

Придут сваты в кабак, выпьют горилки, сядут куда-нибудь в уголок да так и сидят молча, точно пришибленные. И в кабаке все новый народ пошел, и все больше молодые, кержачата да хохлы, а с ними и туляки, которые посмелее.

— Оттак! — ворчит старый Коваль, посасывая свою люльку. — За чубы их, пранцеватых, да батогом.

— Этово-тово, в волости драть, — подтверждал Тит.

Макар в кабаке совсем не показывался и дома бывал мало. Он живмя жил в лесу. Но служба была только предлогом, и старый Тит давно приметил, что с Макаром творится что-то неладное. Крепкий человек Макар, не будет рассказывать, о чем думает. А задумывался он совсем заметно. Приедет домой и сидит в избе, как гость. Прежде с кержаками любил

пировать, а теперь отстал. Разве когда Мосей с Самосадки завернет, да и то редко. Тит, конечно, знал про историю с Аграфеной Гущиной и страшно испугался, когда она вернулась из скитов. Объявила ему об этом сноха Татьяна, перепугавшаяся насмерть.

— Опять он будет, Макар-то, со свету меня сживать, — жаловалась она. — Только успела вздохнуть, а эта змея из скитов и выползла. Приворожила она его чем ни на есть... Люты на привороты все кержанки!

Тит только качал головой. Татьяна теперь была в доме большухой и всем заправляла. Помаленьку и Тит привык к этому и даже слушался Татьяны, когда речь шла о хозяйстве. Прежней забитой бабы точно не бывало. Со страхом ждала Татьяна момента, когда Макар узнает, что Аграфена опять поселилась в Кержацком конце. Когда Макар вернулся из лесу, она сама первая сказала ему это. Макар не пошевелился, а только сдвинул сердито брови.

— Тебе-то какая печаль до Аграфены? — ответил он после короткого раздумья. — Где хочет, там и живет.

Наутро Макар опять уехал в лес и не показывался домой целый месяц. Татьяна вздохнула свободнее. Да и Аграфена проживала совсем тайно в избушке мастерицы Таисьи вместе с своим сынишкой Глебом. Ее редко кто видел, и то больше из своих же кержаков, как жигаль Мосей или старик Основа.

Глава 64

Наступила страда, но и она не принесла старикам обычного рабочего счастья. Виной всему был покос Никитича, на котором доменный мастер страдовал вместе с племянником Тишкой и дочерью Оленкой. Недавние ребята успели сделаться большими и помогали Никитичу в настоящую силу. Оленка щеголяла в кумачном сарафане, и ее голос не умолкал с утра до ночи, — такая уж голосистая девка издалась. Пашка Горбатый, страдовавший с отцом, потихоньку каждый вечер удирал к Тишке и вместе с ним веселился на кержацкую руку.

— Эге, твой хлопец по-кержацки виворачивае! — говорил старый Коваль свату Титу. — Слухай, як вон песни играе с Никитичем.

Старый Тит поникал головой и ничего не

отвечал, — он чувствовал себя бессильным.

Покос старого Коваля одним боком сошелся совсем близко с покосом Никитича, так что, когда Федорка косила здесь траву, то могла видеть все, что делается у кержаков, и втайне завидовала их веселью. Она иногда останавливалась и подолгу слушала кержацкие песни, нагонявшие на нее непонятную тоску. По вечерам, сидя у огонька перед своим балаганом, она тоже заводила свою хохлацкую песню, но никто ее не поддерживал, и песня замирала в бессилии собственного одиночества. Иногда только подтянет старый Коваль охрипшим голосом, и только всего. Так было с неделю, а потом на Федоркин голос стала откликаться песня с покоса Никитича. Это чувствовала одна Федорка, — запоет она, и там запоет мужской голос. Если она вечером молчит, мужской голос сам начинал заунывную проголосную песню.

— Лютой кержачонок песни играть, — задумчиво говорил старый Коваль своей старухе Ганне. — Бачь, як заливается.

Ганна только тяжело вздыхала. Федорка была совсем большая, и осенью сваты реши-

ли сыграть свадьбу. Ни Пашка, ни Федорка этого, конечно, не знали, и сердце Ганны обливалось кровью. Лучше бы отдать Федорку за своего хохла: по-небогатому-то лучше прожить, чем выходить на большую семью, где своих три снохи. Да и какое теперь горбатовское богатство? С другой стороны, Ганна стала примечать, что кержачонок Тишка стал как будто бродить около их покоса: то скажет, что лошадь ищет, то с другим каким задельем прикинется. Раз Ганна накрыла его на месте преступления: Тишка с уздой в руках стоял около Федорки и о чем-то разговаривал. Ганна налетела на него кошкой и чуть не вцепилась прямо в глаза.

— Геть, щидрик! — ругалась она, размахивая руками. — Не туда пришел... А свою лошадь поищи в Кержацком конце.

Тишка только посмотрел на нее, ничего не ответил и пошел к себе на покос, размахивая уздой. Ганна набросилась тогда на Федорку и даже потеребила ее за косу, чтобы не заводила шашней с кержачатами. В пылу гнева она пригрозила ей свадьбой с Пашкой Горбатым и сказала, что осенью в заморозки окрутят их.

Так решили старики и так должно быть. Федорка не проронила ни слова, а только побелела, так что Ганне стало ее жаль, и старуха горько заплакала.

Однажды, проснувшись ночью, Ганна окликнула Федорку, но она ей не ответила. В балагане, где старуха спала с снохой и с дочерью, было темно. Ужас охватил Ганну при одной мысли, что Федорка могла куда-нибудь уйти. Она обшарила место, где та спала, — пусто, оползла весь балаган — пусто, вылезла из балагана — нет Федорки. У потухшего огня, завернувшись в чекмени, спали оба Коваля, а Федорки не было. Пахучая летняя ночь скрыла все. Месяц еще не родился, со стороны Култыма надвигался густой туман, где-то в болоте резко скрипел коростель. В первую минуту у Ганны подкосились ноги от ужаса, а потом она инстинктивно побежала по направлению к покосу Никитича. Ноги сами несли ее с невероятною для ее старости быстротой. Оставалось всего несколько шагов до избушки Никитича, и уже брехнула спавшая у огонька собака, как Ганна остановилась. Зачем она идет к кержаку? Только славу худую

пустит про Федорку, а делу не подсобит. Да если Федорка и убежала к Тишке, так не в балагане же они у Никитича, а, наверное, шляются где-нибудь в лесу. Ганна повернула назад и пошла домой расслабленною походкой, точно пьяная. Горе было так велико, что она даже не могла плакать. Мысли кружились в голове, как спугнутая стая птиц.

Обратно Ганна прошла берегом Култыма и напала на след по мокрой траве, который вел к ним на покос. Ганна остановилась в раздумье. Занималась уже заря, и она побрела к своему балагану. Федорка спала на своем месте, как зарезанная, и только мокрый подол сарафана говорил об ее ночном путешествии. Ганна заплакала бессильными старческими слезами. Ей даже побить Федорку сейчас было нельзя: и Лукерья проснется и мужики тоже. Зачем срамить девку прежде времени! Развела огонь Ганна, села на валявшийся обрубок смолевого дерева и задумалась. Конечно, Федорка глупа и бежит на кержацкие песни, как коза, вылупив очи. Если бы не было покоса Никитича, не было бы и греха. А кто все устроил? Конечно, сват Тит. Кабы не его

проклятая орда, Деян не продал бы покоса Никитичу и Ганна не бегала бы за Федоркой ночью.

Выждав, когда мужики с Лукерьей ушли на работу, Ганна без слова схватила Федорку за косу и принялась бить. Федорка не защищалась, а только покорно болтала головой, как выдернутая из гряды репа.

— Задушу, своими руками задушу... — хрипела Ганна, из последних сил таская Федорку за волосы. — Я тебя народила, я тебя и задушу... Знаю, куда ты по ночам шляешься! Ну, чего ты молчишь?

Федорка все-таки молчала и только старалась не смотреть в глаза матери. Да и что она могла сказать? Ганна опять набросилась на нее с кулаками, чувствуя, что она бессильна перед этим молодым, точно сколоченным телом. И здоровая же девка эта Федорка, как выточенная. В отца, видно, уродилась. Мать ее бьет, а она хоть бы пикнула. Дело кончилось тем, что Ганна плюнула на нее, пала на землю и горько зарыдала. Слезы тронули Федорку более материнских побоев, и она откровенно призналась, что ходила к Тишке уже не

первую ночь. Нет слов, чтобы описать охватившее Ганну отчаянье. Она опять впала в какое-то неистовство и кинулась на Федорку с поленом.

— Ой, лишечко! — стонала Ганна, когда Федорка ловко увернулась от удара.

То, что некогда было с Аграфеной, повторилось сейчас с Федоркой, с тою разницей, что Ганна «покрыла» глупую девку и не сказала никому об ее грехе. О будущем она боялась и подумать. Ясно было пока одно, что Федорке не бывать за Пашкой. А Федорка укрепилась дня на три, а потом опять сбежала, да и к утру не пришла, так что ее хватился и сам старый Коваль.

— А где Федорка, бисова девка? — спрашивал он грозно.

— А пошла...

— Да куда же вона пошла? — допытывался упрямый старик.

— А до Горбатых...

Ганна соврала, сама не зная для чего. Дальше покрывать Федорку было совершенно бесполезно. Хуже будет, если Коваль дознается обо всем через других людей. Как ни плака-

лась Ганна, уговаривая Федорку, как ни молила, — ничего не помогало. Федорка точно одеревенела. Днем работала, а ночью уходила неизвестно куда. Лукерья тоже догадалась, но молчала, показывая вид, что не ее дело. Ей первой Ганна призналась во всем и просила совета, как быть. Лукерья посоветовала рассказать все мужикам, чего Ганна боялась до смерти.

— Так я сперва скажу Терешке, а он скажет отцу, — говорила Лукерья.

— Нет, уж лучше я сама.

Это было вечером, когда Ганна, наконец, открыла свое горе мужу. Коваль в первую минуту не мог вымолвить ни слова, а только хлопал глазами, как оглушенный бык. Когда Ганна тихо заплакала, он понял все.

— Где бисова дочь? — спросил он, закипая яростью.

Федорка предчувствовала беду и заблаговременно исчезла. Старик Коваль без шапки побежал прямо на покос к Никитичу. За ним бежала Ганна, боявшаяся, что в сердцах старик изувечит Федорку. Но она задохлась на полдороге. Коваль прибежал к Никитичу, как

сумасшедший.

— Подавай Федорку! — орал он, накидываясь на оторопевшего Никитича. — Где моя Федорка?

— Да ты ошалел, старый хрен? — огрызнулся Никитич. — На што нам твоя Федорка? Ступай домой да поищи хорошенько около себя.

Единственною свидетельницей этой горячей сцены была Оленка, которая равнодушно оставалась у огонька, над которым был повешен чугунный котелок с варевом. Коваль совсем одурел. Он так кричал и ругался, что Никитич, наконец, вытолкал его в шею и только потом догадался спросить, где же в самом деле мошенник Тишка?

— Был, да весь вышел, — равнодушно ответила Оленка. — У Чеботаревых с Пашкой хороводятся... Там девок целый табун.

Наступила ночь, а Федорки все не было. Старый Коваль три раза приходил в балаган к Никитичу и начинал ругаться с ним. Обезумевший от горя старик бродил с покоса на покос и кричал своим зычным голосом: «Федорка!.. Федо-орка!..» Крикнет и слушает, не от-

кликнется ли где-нибудь звонкий, молодой голос. Но немая ночь не откликалась, и Коваль бежал в лес и опять кликал дочь. Он плохо помнил, как перед самым утром очутился на покосе у Горбатых. Когда сват Тит проснулся, он увидел старого Коваля, который сидел у потухшего огня, упершись глазами в землю.

— Это ты, Дорох? — окликнул его Тит, не веря собственным глазам.

Коваль ничего не отвечал и, кажется, не слышал оклика. Тит подошел к нему и начал трясти за плечо.

— Сват, да ты это как сюда попал, этово-тово?

— Який я тоби сват! — глухо ответил старик и заплакал. — Черт мене сват... в чертову родню попал!

Федорка так и пропала с покоса, а потом оказалась в Кержацком конце, в избе Никитича. Выручать ее поехал Терешка-казак, но она наотрез отказалась идти к отцу.

— Да ты никак сбесилась, — усовещивал ее Терешка. — Виданное ли это дело, штобы православная за кержака убегала?..

— Не пойду домой, — твердила Федорка. — Нечего мне там делать.

Терешка вернулся домой ни с чем, и Федорку пришлось добывать через волостное правление. Она спряталась на сарай, а когда ее там нашли, отчаянно защищалась. Дома сам Коваль запер ее в заднюю избу и ключ от замка повесил себе на пояс. Федорка не подавала голосу, точно оглушенная. Она сидела в углу, как затравленный зверь, и не хотела ни есть, ни пить. Пробовали с ней заговаривать, — Федорка не отвечала. Сам Коваль даже ночью несколько раз подходил к двери и прислушивался, что делает Федорка. Стариков мучила мысль о том, как бы она не наложила на себя рук. Старая Ганна потихоньку от старого Коваля прокрадывалась к окошку избы и начинала кликать дочь, называя ее прежними ласковыми словами, но Федорка молчала.

— Заговорена вона кержаками, — решил Коваль. — Надо ее будет отчитать... Ужо пойду до попа.

Когда пришел о. Сергей, чтобы сделать пастырское увещание заблудшей овце, задняя из-

ба оказалась пустой: Федорка бежала в окно, вынутое снаружи.

Глава 65

Мастерица Таисья частенько теперь завертывала в господский дом и любила потолковать с молодою барышней о разных разностях. Через нее Нюрочка мало-помалу разузнала всю подноготную заводской жизни, а в том числе и трагическую историю Аграфены до убийства духовного брата Конона включительно. Конечно, главным образом Таисья рассказывала о своем Кержацком конце, Самосадке и скитах. О мочеганских концах говорилось только к слову, когда речь заходила о таких крупных событиях, как выход замуж Федорки Ковалихи или позорная свадьба старой Рачителихи, которую мочегане водили в хомуте по всему заводу. Таисья знала решительно все на свете, и ее рассказам не было конца краю. Слушавшая ее девушка с головой уходила в этот мир разных жестокостей, неправды, крови и слез, и ее сердце содрогалось от ужаса. Господи, как страшно жить на свете, особенно несчастным женщинам! Действительность проходила перед ее

глазами в ярких картинах греха, человеконенавистничества и крови.

— Мы из миру-то в леса да в горы бежим спасаться, — повествовала Таисья своим ласковым речитативом, — а грех-то уж поперед нас забежал... Неочерпаемая сила этого греха! На што крепка была наша старая вера, а и та пошатилась.

В избушке Таисьи Нюрочка познакомилась и с сестрой Авгарью, которая редко говорила, а обыкновенно сидела, опустив глаза. Нюрочку так и тянуло к этой застывшей женской красоте, витавшей умом в неведомом для нее мире. Когда Нюрочка сделала попытку разговориться с этою таинственною духовною сестрой, та взглянула на нее какими-то испуганными глазами и отодвинулась, точно боялась осквернить своим прикосновением еще нетронутую чистоту.

— Уж больно ты зачастила к Таисье-то, — попрекнула раз Парасковья Ивановна завернувшую к ней Нюрочку. — Сладко она поет, да только... Мальчика-то видела ты у ней?

— Какого мальчика?

— Значит, хоронится от тебя... Тоже совест-

но. А есть у них такой духовный брат, трехлеточек-мальчик. Глебом звать... Авгарь-то матерью ему родной приходится, а зовет духовным братом. В скитах его еще прижила, а здесь-то ей как будто совестно с ребенком объявиться, потому как название ей девица, да еще духовная сестра. Ну, Таисья-то к себе и укрыла мальчонка... Прячет, говорю, от тебя-то!

Парасковья Ивановна в последнее время стала заметно коситься на Таисью, а при Нюрочке не стеснялась рассказать про нее что-нибудь обидное. Это очень огорчало Нюрочку, потому что она всех любила — и Парасковью Ивановну, и Таисью, и Авгарь. Она чувствовала, что Парасковья Ивановна не досказывает, хотя не раз уже издалека подводила речь к чему-то, что ее, видимо, очень огорчало и мучило.

Другой враг у Таисьи, которого Нюрочка тоже очень любила, был о. Сергей.

Она каждый праздник ходила в церковь. О. Сергей так хорошо служил. Церковь была небольшая и старая, но в ней так хорошо было молиться. Иногда о. Сергей говорил

небольшие поучения, применяясь к пониманию слушателей, и, как казалось Нюрочке, он часто говорил именно для нее. Между утреней и обедней, а также после обедни о. Сергей оставался в церкви, чтобы побеседовать с старушками, которые через силу набирались сюда из обоих мочеганских концов. Они ужасно любили о. Сергея и несли к нему свои последние земные заботы, огорчения и напасти. Нюрочка несколько раз была свидетельницей этих бесед и могла только удивляться терпению священника, который по целым часам толковал с этими человеческими обносками и лохмотьями. Раз она откровенно высказала ему это.

— А кто же их утешит, этих старушек? — просто ответил о. Сергей. — Ведь у них никого не осталось, решительно никого и ничего, кроме церкви... Молодые, сильные и счастливые люди поэтому и забывают церковь, что увлекаются жизнью и ее радостями, а когда придет настоящее горе, тяжелые утраты и вообще испытания, тогда и они вернутся к церкви.

— Это показывает, отец Сергей, что есть

много людей бесхарактерных...

— Все мы бесхарактерные люди, Анна Петровна... Я никого не осуждаю, а говорю для примера.

И этот добрейший человек, каким был о. Сергей в глазах Нюрочки, относился так неприязненно к мастерице Таисье. В господском доме о. Сергей бывал, главным образом, по вечерам, поэтому и не встречался с Таисьей, но раз он завернул утром и столкнулся в дверях с ней носом к носу. Произошла неловкая немая сцена, пока не явилась на выручку Нюрочка. Вдобавок и Петра Елисеича не случилось дома. Обыкновенно о. Сергей удалялся при такой оказии домой, а тут остался, чтобы не показаться перед раскольничьей начетчицей трусом и «хоронякой». Нюрочка очутилась между двух огней, потому что и Таисья не уходила по той же причине.

— Вы знакомы? — нерешительно спрашивала Нюрочка покашливавшего о. Сергея.

— Весьма наслышан о них, Анна Петровна, — степенно ответил о. Сергей, подбирая губы. — Слухом земля полнится... Одним словом, про нашу ключевскую мастерицу Таи-

сью везде знают.

— А ровно бы и знать-то нечего, духовный отец, — не без достоинства ответила Таисья. — Живу, как таракан за печкой...

— Как слышно, вы и требы исправляете? Окрестить младенца можете, хороните умерших... Впрочем, это не мое дело. Я не вмешиваюсь, а только высказал то, что говорят иные.

— У нас требы исправляют по древлеотеческому чину старцы, духовный отец... Не женское это дело. А молиться никому нельзя воспретить: и за живых молимся и за умерших. По своей силе душу свою спасаем.

Разговор вообще плохо вязался, и Нюрочка выбивалась из сил, чтобы занять чем-нибудь мудреных гостей. Прежде всего, конечно, явился чай, но Таисья отказалась. О. Сергей все покашливал. Нюрочка предчувствовала, что вся эта сцена разрешится какою-нибудь неприятностью, — так и случилось. Выпив свой стакан, о. Сергей обратился к Таисье с таким вопросом:

— А как вы полагаете относительно Федоры Коваль, которая убежала к вам в Кержац-

кий конец?

— Ничего я не знаю, отец духовный, а если что и случается, так меня не спрашивают...

— Так-с... А я вам скажу, что это нехорошо. Совращать моих прихожан я не могу позволить... Один пример поведет за собой десять других. Это называется совращением в раскол, и я должен поступить по закону... Кроме этого, я знаю, что завелась у вас новая секта духовных братьев и сестер и что главная зачинщица Аграфена Гущина под именем Авгари распространяет это лжеучение при покровительстве хорошо известных мне лиц. Это будет еще похуже совращения в раскол, и относительно этого тоже есть свой закон... Да-с.

— Ничего я не знаю... — упрямо повторяла Таисья. — Наше дело маленькое. Со своею одною головой не знаешь куда деваться, а куда уж других судить!

Когда мастерица Таисья ушла, о. Сергей несколько времени молчал, а потом тихим голосом проговорил:

— Извините меня, Анна Петровна, если я сказал что лишнее в вашем доме. Но это долг пастыря, который отвечает за каждую погиб-

шую овцу. Многое вижу и молчу. Сокрушаюсь и молчу... да. Вот и вы очень огорчали меня, когда ходили на богомолье на Крестовые острова. Конечно, бог везде один, но заблуждения разделяют людей. Петр Елисеич держится относительно веры свободных мыслей, но я считаю своим долгом предостеречь вас от ошибок и увлечений.

Нюрочка покорно молчала, чувствуя себя виноватой. Ее выручил отец: при нем о. Сергей неловко умолк.

Глава 66

Новый управляющий сначала не ездил в Ключевской завод около полугода. Он был занят приведением в порядок дел главной конторы и разными реформами преимущественно канцелярского характера. Это был заводский делец совершенно нового типа, еще неизвестный на Урале, где до сих пор вершили заводские дела свои крепостные, доморощенные управители, питавшие органическое отвращение к писаной бумаге вообще. По крайней мере половина служащих была сменена за ненадобностью, а на их место поступили новые, выписанные новым главным

управляющим. Оставшиеся без куска заводские служащие были обречены на голодную смерть, потому что, выращенные на заводском деле рядом поколений, они не могли помириться с какою-нибудь другою службой. Другою причиной недовольства новым управляющим являлось строгое отношение к рабочим и мелочные урезки в заработке. Собственно говоря, счет шел на гроши, но в крупных предприятиях именно из таких грошей и создаются крупные цифры.

— Если рабочим не нравятся новые порядки, то могут уходить на все четыре стороны, — повторял Голиковский направо и налево, чем еще более восстановлял против себя. — Я силой никого не заставляю работать, а если свои не захотят работать, так выпишем рабочих из других заводов, а в случае чего даже из России.

Это было кровною обидой для всего сплоченного заводского люда, не отделявшего себя до сих пор от заводского дела. Являлось какою-то нелепостью, что вдруг в Мурмос наедут рабочие с других заводов или даже расейские. Да и куда пойдет коренной заводский

человек из своего насиженного гнезда?.. Просто новый управляющий бахвалится, чтобы сделать прижимку. Даже Лука Назарыч, державший всех в ежовых рукавицах, и тот не говорил никогда ничего подобного, а в случае неурядиц обходился своими домашними средствами. И служащие и рабочие почуяли в Голиковском чужого человека, которому все трын-трава, потому что сегодня он здесь, а завтра неизвестно где.

Петр Елисеич тоже не мог согласиться с Голиковским.

— Рабочие прежде всего люди, — говорил он новому начальству. — У них есть свое самолюбие, известные традиции, наконец простое человеческое достоинство... По моему мнению, именно этих сторон и не следует трогать.

— Это все сентиментализм, — возражал Голиковский. — Я смотрю на рабочую силу, как на всякую машину, — и только. Ни больше, ни меньше. Каждая машина стоит столько-то и должна давать такой-то процент выгодной работы, а раз этого нет — я выкидываю ее за борт. Разве может быть самолюбие у паровой

машины?.. Извините меня, Петр Елисеич, но вы отстали от современных взглядов на крупную промышленность... Лучший пример для нас — Европа, в особенности Англия. У нас рабочие массы страшно распущены, и необходимо их субординировать. Будем учиться у Европы.

— Как мне кажется, нам не следовало бы перенимать именно больные места европейской промышленности, тем более что и условия производства у нас несколько иные.

Голиковский откладывал целых полгода свою поездку по другим заводам из-за необходимых реформ в центре, а когда дело было уже обставлено, он «позволил себе это удовольствие» и прежде всего отправился в Ключевской завод. Приехал он на паре, как самый обыкновенный проезжающий, а не на пятерке с «фалетуром», как ездил Лука Назарыч. Он рассеянно вбежал в переднюю и, не раздеваясь, вошел в зал, где и столкнулся лицом к лицу с Нюрочкой. Перед ним точно в тумане мелькнуло это милое девичье лицо, а большие серые глаза глянули прямо в душу, полную холостого одиночества и житейского хо-

лода.

— Петр Елисеич, надеюсь, дома? — заговорил гость, останавливаясь в нерешительной позе.

— Папа ушел на фабрику, — ответила Нюрочка, свободно и просто смотревшая на гостя.

Голиковский молча сел на ближайший стул и в каком-то смущенном восторге смотрел на незнакомку. Он даже и не подозревал, что у Петра Елисеича есть взрослая дочь. Эта приятная неожиданность точно ошеломила его.

Потом он что-то такое спросил ее, вероятно невпопад, потому что она посмотрела на него удивленными глазами. Что она ответила, он не понимал, а только видел, как она вышла из комнаты грациозною походкой, как те редкие сновидения, какие заставляют молодеть. Голиковский сидел несколько времени один и старался припомнить, зачем он приехал сюда и как вообще очутился в этой комнате. Из раздумья вывел его Петр Елисеич, за которым уже успели послать на фабрику.

Все время, пока ходили по фабрике, Голиковский был очень рассеян, так что даже Петр Елисеич под конец не знал, как держать себя и зачем собственно Голиковский приехал. С фабрики он повез гостя в медный рудник, но и там он ходил точно во сне. С рудника на обратном пути завернули в контору, и Голиковский как будто немного пришел в себя: канцелярия была его родною стихией. Бедные служащие пришли в ужас, когда главный управляющий потребовал для ревизии некоторые книги. Гроза накатилась вдруг. Многие уже читали себе отходную: на Ключевском, конечно, будет то же, что было в Мурмосе. Но и книги не помогли. Цифры прыгали в глазах Голиковского, и он не мог ничего сообразить. Рассматривая какую-то ведомость, он, обращаясь к Петру Елисеичу, заметил:

— А я не знал, что у вас есть дочь, Петр Елисеич.

— Где дочь? — удивился в свою очередь Петр Елисеич, думавший о другом.

— А я давеча видел ее.

За обедом Голиковский тоже держался крайне рассеянно, но Нюрочка не показалась,

и он уехал сейчас же после обеда. Петр Елисеич только пожимал плечами. В следующий раз Голиковский приехал через две недели, потом стал ездить каждую неделю и, наконец, по два раза в неделю.

— Знаете, я отдыхаю у вас, — откровенно объяснил он Петру Елисеичу, точно извиняясь за свои слишком частые визиты.

Сначала Нюрочка совсем не показывалась гостю, потом стала показываться из вежливости, чтобы разливать чай, и, наконец, привыкла к новому человеку. Голиковский умел держать себя с большим тактом и постепенно сблизился. Он знал еще больше, чем Петр Елисеич, и просто поражал Нюрочку своею ученостью. Каждый раз он привозил с собой какую-нибудь новую интересную книгу и требовал, чтобы Нюрочка читала ее. Голиковский и сам недурно читал вслух и знакомил Нюрочку с выдающимися произведениями иностранной литературы, как Диккенс или Шпильгаген. Петр Елисеич не читал романов, и для Нюрочки раскрывался шаг за шагом совершенно неведомый мир, куда вводил ее этот странный человек, возбуждавший всеоб-

щую ненависть. Девушка знала о подвигах нового главного управляющего в Мурмосе и часто подолгу задумчиво смотрела прямо ему в лицо: некрасивый, пожилой человек, почти старик — и больше ничего. А между тем сколько семей проклинают его... Нюрочке он казался таким добрым, и ей не хотелось верить в сделанное им зло.

Когда заходил о. Сергей, они втроем садились за преферанс и играли за полночь, причем Голиковский непременно выигрывал. Нюрочка любила сидеть около него и смотреть в карты.

— Вы приносите мне счастье, Анна Петровна, — пошутил однажды Голиковский, показывая ей свои карты.

Нюрочке это не понравилось. Что он хотел сказать этим? Наконец, она совсем не подавала ни малейшего повода для этого фамильярного тона. Она молча ушла к себе в комнату и не показывалась к ужину. Катря довершила остальное. Она пришла в комнату Нюрочки, присела на кровать и, мотнув головой в сторону столовой, проговорила:

— А жених-то сегодня рассердится.

— Какой жених? Да ты с ума сошла, Катря.

— Барышня притворяется, а я усе вижу, хоть и неученая... Пан с Мурмоса женится на нашей Нюрочке!

Это предположение показалось Нюрочке до того обидным, что она прогнала Катрю, заперла дверь своей комнаты на крючок и кончила слезами. Успокоившись, она должна была согласиться, что Катря, пожалуй, и права... Перед ней прошел целый ряд маленьких и ничтожных в отдельности сцен и разговоров, ярко осветившихся теперь одним словом: жених. Она даже старалась представить себя mme Голиковской и громко расхохоталась. Он годится ей в отцы, этот косой жених. Понятие о женихе носилось в ее воображении как что-то необыкновенное, сказочное и роковое и совсем уж непохожее на г. Голиковского.

Странная вещь: проснувшись на другой день, Нюрочка в предположении Катри не нашла решительно ничего ужасного, а даже весело улыбнулась. В ней откликнулось неудержимое женское любопытство: ее любили еще в первый раз. А что будет дальше?..

Человек, наводивший трепет на тысячи

людей, ездит специально для нее из Мурмоса через каждые три дня. Это суетное чувство, мелькнувшее в душе девушки, сменилось сейчас же угрызением совести, и она с горечью подумала: «Какая я дрянная девчонка!..» Все-таки она утром оделась тщательнее обыкновенного и вышла к чаю такая розовая и улыбающаяся. Голиковский с заметным смущением пожал ей руку и неловко пробормотал какой-то комплимент. Подогретая этой робостью, Нюрочка чувствовала себя необыкновенно весело, так что даже Петр Елисеич посмотрел на нее с удивлением. А Голиковский совсем не походил на влюбленного человека: он почти все время молчал и смотрел куда-то в сторону, но для Нюрочки это молчание было красноречивее всяких слов. Какой он смешной, и притом это совсем другой человек, а не тот главный управляющий Голиковский, о котором Нюрочка слышала раньше так много дурного, наконец, не тот Голиковский, который ездил к ним через три дня.

— Интересно, когда он сделает мне признание?.. — соображала Нюрочка, увлекаемая вихрем молодого легкомыслия. — Может

быть, сегодня же... Если бы у него не был один глаз косой и если бы вместо сорока лет ему было двадцать пять...

Но Голиковский и не думал делать признания, даже когда они остались в гостиной вдвоем. Он чувствовал, что девушка угадала его тайну, и как-то весь съежился. Неестественное возбуждение Нюрочки ему тоже не нравилось: он желал видеть ее всегда такою, какою она была раньше. Нюрочка могла только удивляться, что он при отъезде простился с ней так сухо. Ей вдруг сделалось безотчетно скучно. Впрочем, она вышла на подъезд, когда Голиковский садился в экипаж.

— Это что там за народ? — спрашивал Петр Елисеич стоявшего у ворот Антипа. — Вон у конторы.

— А это тово... парнишку несут... убился с лошади.

— Какого парнишку?

— Ну, пристанского... значит, Василия Самойлыча... С Самосадки ехал верхом и убился... В лазарет понесли к фершалу.

Петр Елисеич без шапки бегом бросился к конторе и издали еще махал руками мужи-

кам, чтобы несли больного в господский дом. Голиковский дождался, пока принесли «убившегося» в сарайную к Сидору Карпычу, и с удивлением посмотрел на побелевшую от страха Нюрочку.

— Он умер... — шептала она со слезами на глазах. — Папочка, неужели он умер?

— Я пошлю вам своего доктора, Анна Петровна, — ответил Голиковский, подавая знак трогать.

Нюрочка ничего не слышала и не видела, ошеломленная пронесшимся перед ее глазами призраком смерти. Господи, неужели Вася умрет?

— Левая рука вывихнута, а одна нога, кажется, сломана, — сообщил ей отец, бегом возвращаясь из сарайной. — Где у нас свинцовая примочка? нашатырный спирт? Он лежит в обмороке.

Глава 67

Во всех трудных случаях обыкновенно появлялась мастерица Таисья, как было и теперь. Она уже была в сарайной, когда поднимали туда на руках Васю. Откуда взялась Таисья, как она проскользнула в сарайную рань-

ше всех, осталось неизвестным, да никто про это и не спрашивал. Таисья своими руками уложила Васю на кровать Сидора Карпыча, раздела, всего ощупала и сразу решила, что на молодом теле и не это износится.

— Первое дело, надо руку вправить, — советовала она фельдшеру Хитрову. — Затекет плечо, тогда не пособишь, а нога подождет.

Как он кричал, этот Вася, когда фельдшер с Таисьей принялись вправлять вывихнутую руку! Эти крики были слышны в господском доме, так что Нюрочка сначала заперлась в своей комнате, а потом закрыла голову подушкой. Вообще происходило что-то ужасное, чего еще не случалось в господском доме. Петр Елисеич тоже помогал производить мучительную операцию, сам бледный как полотно. Безучастным оставался один Сидор Карпыч, который преспокойно расхаживал по конторе и даже что-то мурлыкал себе под нос.

Когда рука была вправлена, все вздохнули свободно. Срастить сломанную левую ногу — дело пустое. Фельдшеру постоянно приходилось возиться с переломами, и он принялся за

работу уже с равнодушным лицом.

— Лошадь испугалась... понесла... — объяснял Вася, точно извиняясь за причиненное всем беспокойство. — Вышибла из седла, а я в стреме версты две без памяти тащился.

К удивлению, голова Васи пострадала незначительно.

— Ну, а как теперь себя чувствуешь? — спрашивал Петр Елисеич.

— Ничего, до свадьбы заживет, — ответила за него Таисья, а Вася только устало закрыл глаза.

Молодое лицо, едва тронутое первым пухом волос, дышало завидным здоровьем, а недавняя мертвенная бледность сменилась горячим молодым румянцем. Петр Елисеич невольно залюбовался этим русским молодцом и даже вздохнул, припомнив беспутную жизнь Васи. В последнее время он очень кутил и вообще держал себя настоящим саврасом.

— Какой ты молодец вырос, Вася! — проговорил вслух Петр Елисеич.

— Груздевская порода, — объяснила Таисья с гордостью. — В родителя издался.

Привели и верховую лошадь, которая пробежала в Туляцкий конец с оборванными поводьями. Она вся дрожала и пугливо вздрагивала от малейшего шороха, косясь горячим глазом. Это был великолепный караковый киргизский иноходец, костлявый и горбоносый, с поротыми ушами. Нюрочка нарочно выходила посмотреть красавицу лошадь и долго гладила бархатную морду с раздувавшимися ноздрями.

— Я на ней покатаюсь, папа, — говорила она отцу за обедом.

— Она и тебя выбьет из седла.

— А я не боюсь!.. Из дамского седла легче выскочить, чем из мужского.

— Пусть она успокоится сначала, а впрочем, как знаешь...

После короткого раздумья Петр Елисеич прибавил:

— А какой красавец этот Вася... да. Жаль, что он испортился так рано.

Нюрочка посмотрела на отца и опустила глаза. Ей ужасно хотелось посмотреть, какой стал теперь Вася, и вместе с тем она понимала, что такое любопытство в настоящую ми-

нуту просто неприлично. Человек болен, а она пойдет смотреть на него, как на редкого зверя. Когда после обеда отец лег в кабинете отдохнуть, Нюрочка дождалась появления Таисьи. Мастерица прошла на цыпочках и сообщила шепотом:

— Уснул, голубчик... Намаялся до смерти, а тут вдруг точно весь распустился. Горячий такой лежит, как уголек... Завтра, говорит, фершал-то в гипс ногу ему заливать будет, а сегодня устал. Вот бы мать-то, Анфиса Егоровна, кабы жива была, так напринималась бы страсти с детищем, а отец-то и ухом не поведет... Известно, материнское сердце: умного-то сына жаль, а дурака вдвое. Ну, да еще Васин ум впереди... Перемелется — мука будет. Добрый он, в отца изгадал... У мужчин это бывает, што продурится и человеком станет. Сила в ём ходит, а девать ее некуда.

Разговорившись, Таисья даже всплакнула о Васе, и о покойнице Анфисе Егоровне, и просто так, от своей бабьей жалости. На Нюрочку разговор с Таисьей подействовал сокрушающим образом, и она как-то вся притихла. В самом деле, может быть, Вася оттого и испор-

тился, что у него нет матери. У ней тоже нет матери... Нюрочке вдруг сделалось совестно за свое поведение с Голиковским, так хорошо, по-молодому, совестно. Пустая она и дрянная девчонка, если разобрать. Готова была кокетничать со стариком. Это похуже баловства брошенного на произвол судьбы Васи. Он ничему не учился и ничего не читал, а она сколько умных книжек перечитала. Нет, решительно негодная девчонка... На Нюрочку напало что-то вроде отчаяния, и она даже не вышла к ужину. Лежа в постели, она все думала и думала. Жизнь — серьезная и строгая вещь. А тут какой-нибудь удар копытом по голове, и человека не стало на свете. Это может случиться со всяким человеком, а что может быть обиднее такой глупой смерти? Вася делал глупости по-своему, а она по-своему.

Целую ночь Нюрочка спала очень скверно и все думала о Васе. Она даже видела его, только не того забияку мальчишку, который колотил ее и водил по крышам, а совсем другого — бледного, страдающего, беспомощного. Она поднялась утром очень рано, оделась на скорую руку и отправилась во флигель. Ку-

харка только еще затопила печь. В сарайной было тихо. Нюрочка осторожными шагами поднялась по лестнице, в передней перевела дух и осторожно приотворила дверь в комнату Сидора Карпыча. Она увидала следующее: Таисья спала прямо на голом полу у самой кровати, свернувшись клубочком, а на кровати под байковым одеялом лежал совсем большой мужчина. Именно впечатление большого прежде всего и бросилось в глаза Нюрочке, так что она даже немного отступила, точно пришла не туда. Это был не тот Вася, которого она знала, а чужой, большой человек. Она так и подумала: «Ах, какой большой!» Лицо она рассмотрела потом и крайне смутилась, заметив, что Вася пристально глядит на нее большими темными глазами с поволокой.

— Зайдите, — пригласил больной.

Нюрочка смущенно вошла и остановилась у кровати. Вася с трудом выпростал правую руку из-под одеяла и нерешительно протянул ее гостье.

— Вам очень тяжело? — спрашивала Нюрочка уже смелее. — Может быть, вы хотите чаю? Я сейчас принесу.

— Нет, я ничего не хочу… спасибо.

Наступила неловкая пауза. Вася с трудом перекатил по подушке отяжелевшую голову и взглянул на Нюрочку такими покорными глазами, точно просил в чем-то извинения. Она принесла стул и села около кровати.

— И папа и я — все так вчера испугались, — заговорила Нюрочка, подбирая слова. — Лошадь могла вас убить…

Вася молчал и упорно смотрел на Нюрочку, точно стараясь что-то припомнить. Этот взгляд ее смутил, и она замолчала.

— Анна Петровна, — проговорил он вполголоса, оглядываясь на спавшую Таисью. — Вы… вы меня презираете…

— Я? Я, право, не знаю…

— Нет, я знаю, что презираете… и другие тоже. Да и сам я себя презираю… Вот лежу и думаю, какой я скверный человек, Анна Петровна… Ведь и я тоже понимаю.

— Сейчас об этом не следует думать, — серьезно ответила Нюрочка. — Волнение повредит… Вы еще так молоды, вся жизнь впереди, и только явилось бы желание исправиться! Сознание — уже половина исправления, как

говорит папа.

— Петр Елисеич меня презирает, — уныло заметил Вася. — Уж я знаю, что презирает.

— Папа добрый.

Нюрочка припомнила, как вчера отец сказал за обедом: «Какой молодец этот Вася...», и внимательно посмотрела на больного. Действительно, молодец и какой сильный да красивый. Особенно хороша была эта кудрявая голова с темными глазами и решительный, вызывающий склад рта. Теперешнее беспомощное состояние еще больше оттеняло молодую силу. У Нюрочки явилось страстное желание чем-нибудь облегчить положение больного, помочь ему и просто утешить, вроде того как нянчатся с маленькими детьми. Притом он сам сознает, что необходимо исправиться и жить иначе. Ведь она то же самое думала, что он ей сказал. Нюрочке вдруг сделалось весело, и она проговорила совсем просто, по-детски:

— А помните, как мы по крышам лазили?

Она даже засмеялась, весело блеснув глазами. Вася вздохнул и благодарно взглянул на нее. Она припомнила все, до мельчайших по-

дробностей, и опять весело смеялась. Какая она тогда была глупая, а он обижал ее.

— Я ужасно боялась вас тогда, — болтала Нюрочка уж совсем беззаботно. — Да и вообще все мальчишки ужасные драчуны... и все злые... да...

— А помните, как вы приезжали с Петром Елисеичем к нам в Мурмос? — в свою очередь вспоминал Вася. — Еще я вам тогда показывал памятник...

— Пильщика?

Нюрочка чуть не расхохоталась, но Вася сдвинул брови и показал глазами на Таисью. Пусть ее спит, святая душа на костылях. Нюрочка почувствовала, что Вася именно так и подумал, как называл Таисью развеселившийся Самойло Евтихыч. Ей теперь ужасно захотелось рассказать про Голиковского, какой это смешной человек, но Таисья пошевелилась, и Нюрочка вспорхнула, как птичка.

— Ты это с кем здесь шушукался? — спрашивала Таисья, продирая глаза.

— Я?.. У меня, должно быть, бред... — сонно отвечал Вася, закрывая глаза в блаженной истоме.

Таисья подозрительно посмотрела на него, подозрительно покачала головой и даже понюхала воздух, а потом принялась зевать, креститься и творить молитву, отгоняя «наваждение».

Утром же приехал из Мурмоса посланный Голиковским доктор, совсем еще молодой человек, недавно кончивший курс. Это был среднего роста господин с пушистою бородкой и добрыми серыми глазами. Держался он крайне просто и ходил в плисовой поддевке, благо на заводах можно было держать себя по-домашнему. И фамилия у него тоже была простая: Ковылин, Иван Петрович. Он осмотрел руку и сделал гипсовую повязку переломленной ноги, а потом сейчас же и уехал: в Мурмосе ждали свои больные. Через две недели доктор обещал навестить больного. Всего же лежать в постели Васе назначено было ровно шесть недель.

— Вот тебе, Васенька, и великий пост, — пошутила Таисья.

Для Васи эти шесть недель были тяжелым испытанием, но он покорился своей участи с удивившим Таисью спокойствием и только

попросил почитать какую-нибудь книгу.

— Небойсь гражданской печати захотел? — корила Таисья. — Так и есть. Нет, чтобы псалтырь читать.

Самойло Евтихыч приехал проведать сына только через неделю и отнесся к этому несчастию довольно безучастно: у него своих забот было по горло. Полное разорение сидело на носу, и дела шли хуже день ото дня. Петра Елисеича неприятно поразило такое отношение старого приятеля к сыну, и он однажды вечером за чаем сказал Нюрочке:

— Нюрочка, ты взяла бы какую-нибудь книжку и почитала вслух больному, а то ведь можно с ума сойти от этого дурацкого лежанья... Конечно, тебе одной ходить в сарайную неудобно, а будешь читать, когда там Таисья бывает.

Желание отца было приведено в исполнение в тот же день. Нюрочка потащила в сарайную целый ворох книг и торжественно приготовилась к своей обязанности чтицы. Она читала вслух недурно, и, кроме Васи, ее внимательно слушали Таисья и Сидор Карпыч. Выбор статей был самый разнообраз-

ный, но Васе больше всего нравились повести и романы из русской жизни. В каждой героине он видел Нюрочку и в каждом герое себя, а пока только не спускал глаз с своей сиделки.

Глава 68

В жизни Ключевского завода происходили те внутренние перевороты, о которых можно было только догадываться. Прежде население подводилось под один общий уровень, из которого выделялись редкие семьи, как Горбатые или брательники Гущины. Богатство замечалось в рабочей силе и крепком строе семьи. Отдельные лица не имели значения, за самыми редкими исключениями. С «волей» влилась широкая струя новых условий, и сейчас же начали складываться новые бытовые формы и выступали новые люди, быстро входившие в силу. Глухо говорили о нараставшем богатстве таких выходцев, как солдат Артем или Дунька Рачителиха. Конечно, в том и другом случае источник богатства являлся крайне сомнительным, но важно было то, что новые люди сумели воспользоваться богатством уже по-новому. Из зеленого солдатского сундука вырос настоящий магазин, в

котором можно было найти решительно все, чего только могли пожелать ключевляне. Дунька Рачителиха тоже полезла в гору, хотя и не так явно. Она прибрала Груздева в свои руки и мечтала только о том, чтобы развязаться с кабаком, где ей, пожалуй, уж не под силу было управляться. Если бы не пьяница-муж, она давно бы жила пан-паном. Рачитель был в загоне, и Дунька, в случае его провинностей, тузила его чем попадя, как раньше тузил он ее, — роли переменились. Забрал силу также и старик Основа, открывший свою лавку в Кержацком конце и в Пеньковке. Поговаривали, что есть деньжонки у Макара Горбатого, у доменного мастера Никитича, у Ковалей, у мастерицы Таисьи, у бывшего груздевского обережного Матюшки Гущина, который с Самосадки переселился в Кержацкий конец. Но все они еще не решались показать свои карты и жили по-старому — ни шатко, ни валко, ни на сторону.

Рачителиха мечтала открыть лавку в Туляцком конце и даже выбрала место под нее, именно — избенку пропойцы Морока, стоявшую как раз на росстани, между обоими мо-

чеганскими концами. Несколько раз Рачителиха стороной заводила речь с Мороком на эту тему, но Морок только ругался.

— На што тебе изба, непутевому? — убеждала Рачителиха. — Все равно живешь где день, где ночь...

— Ишь, гладкая, тоже и придумала! — ворчал Морок. — Какой же мужик без избы?.. У меня хозяйство...

— Пастуший хлыст?

— А лошадь? Нет, брат, отваливай в палевом, приходи в голубом... Вызолоти меня, а я избы не уступлю.

— Дурак ты, Морок, коли своего счастья не хочешь чувствовать: может, деньги бы дали за избу-то...

— Все одно пропью, а куды лошадь денется? Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Много было перемен в Ключевском заводе, и только один Морок оставался прежним Мороком: так же лето он ходил в конных пастухах, а всю зиму околачивался в кабаке, и так же его били время от времени за разные мелкие кражи. По прежнему воевал он с своим соседом Полуэхтом Самоварником. Впрочем,

сейчас ненависть Морока расчленялась: он преследовал по пятам соседа Артема, куда бы тот ни показался. Крепок был солдат, но и тот делал уже несколько попыток умиротворить Морока, именно — давал ему денег в долг, поил водкой и т. д. Успехи солдата просто отравляли существование Морока, и он измышлял каверзу за каверзой. Придет прямо в магазин к Артему и начнет приставать к Домнушке.

— Вашему степенству сорок одно с кисточкой... Нет ли у вас подходящего товару: полфунта комариного сала да фунт тараканьего мозгу?

У магазина собиралась кучка любопытных, жаждавшая посмотреть, как Морок «травит» Домнушку.

Но наступил тяжелый день и для Морока, когда он должен был расплатиться за свои художества. Уже несколько лет Морок выслеживал Феклисту, дочь Филиппа Чеботарева. Приходил он и на фабрику посмотреть, как Феклиста работает у дровосушных печей, и на покос к Чеботаревым являлся, и вообще проходу не давал девке. Это было чувство глубокой любви, выражавшейся иногда в крайне экс-

травагантных формах. На покосе Морок косил за Феклисту, на фабрике ругал ее нехорошими словами, а встречаясь с ней на улице, переходил на другую сторону. Вообще при людях обходился с ней крайне дерзко, а с глазу на глаз робел и смущался. Это давало постоянный повод к откровенным шуточкам и насмешкам, особенно в праздники на базаре. Выведенный из терпения, Морок дрался с обидчиками и раз на базаре ни с того ни с сего отколотил Феклисту. Но, к общему удивлению, вышло так, что в одно прекрасное утро Феклиста очутилась в избе у Морока. Это возмутило всех до последней степени... Солдат Артем и дозорный Полуэхт воспользовались слабостью Морока и подняли на ноги весь Туляцкий конец. Первым делом они обратились к старику Чеботареву и принялись его расспрашивать: мало ли девки балуются, да не на виду у всех, а тут в глазах у всех Феклиста поселилась у Морока. Срам на весь завод, да и другим девкам большой соблазн. Одним словом, дело загорелось, и в одно прекрасное утро перед избушкой Морока собралась целая куча народа.

— Эй ты, заворуй, выходи, — кричал Полуэхт Самоварник, выступая храбро вперед. — Вот он, Филипп-то, сам пришел за дочерью... Отдавай с добра, коли не хочешь отведать горячих в волости.

В избушке никто не откликался.

— Что с ним разговаривать, с иродом! — кричал солдат Артем. — Вали, ребята, ломай дверь...

Началась настоящая атака избы Морока. Двери оказались запертыми, и камни полетели прямо в окна. В ответ из избушки полетели поленья, кирпичи и доски: Морок разломал печь и защищался отчаянно... Феклиста забралась на полати и лежала там ни жива ни мертва. Зачем она пришла жить к Мороку, трудно сказать. Любить его она не любила, а сдалась на ласковое слово: один Морок пожалел ее беззащитную девичью голову. Так в первый день ничего и не могли поделать с Мороком, — он отсиделся в избушке, как еж в норе. Раньше, когда приходили брать его за какое-нибудь воровство, он покорялся беспрекословно и сам шел в волость, чтобы получить соответствующую порцию горячих, а те-

перь защищался из принципа, — он чувствовал за собой право на существование, — да и защищал он, главным образом, не себя, а Феклисту.

Сколько ни галдели солдат Артем с Полуэхтом, так ничего и не могли поделать с Мороком. На другой день они явились уже с начальством во главе, то есть привели из волости старосту.

— Эй ты, ежовая голова, выходи! — заявлял староста, постукивая палкой в оконную раму без стекол. — Добром тебе говорят...

— Не подходи, убью! — рычал Морок.

Опять полетели камни в избушку, а из нее кирпичи, точно происходила настоящая бомбардировка неприступной крепости. Полуэхт в азарте забрался на крышу избушки и принялся разбирать тесницы. Этот маневр достиг цели: Морок выскочил из избы в одной рубахе и с пастушьим хлыстом бросился на крышу, но тут его и накрыли. Произошла ужасная свалка, причем Морока били поленьями, топтали ногами и под конец связали его же хлыстом и поволокли в волость, как стяг говядины. Феклисты в избе не оказалось: она еще

ночью исчезла неизвестно куда. Все это происходило в отсутствие старшины Основы, который по делам уезжал на Самосадку. Когда он узнал о всем случившемся, то велел сейчас же выпустить Морока и дал жестокий нагоняй превысившему власть старосте.

— Што, подлецы, взяли? — ругался Морок, выходя из волости, и показал собравшимся кукиш. — Не отдам Феклисту, и конец тому делу...

— Выпороть бы его, стервеца, — советовал солдат Артем.

— Молите бога, что Морок не догадается пожаловаться на вас начальству, — проговорил Основа. — Сами бесчинствовали, а он имеет полное свое право...

В этих походах против Морока главное участие принимали старики, а молодежь оставалась в стороне, — у ней было свое на уме. Так, в семье Горбатых происходила полная нескладица. Пашка был уже совсем большой и не хотел знать старика отца. Домой он приносил только половину заработка, а другую половину пропивал на стороне в обществе приятелей, как Илюшка Рачитель и каза-

чок Тишка. По праздникам Пашка уходил в Кержацкий конец и там проводил все время в избе Никитича. Сам Никитич обыкновенно сидел под домной и даже спал там, а дома управлялись теперь Федорка да Оленка, девка на возрасте и настоящая красавица на кержацкую руку. Федорка и Оленка тянули к себе молодятник. Сам Никитич знал о молодом веселье, кипевшем в его доме, только стороной, больше через сестру Таисью, и каждый раз удивлялся самым искренним образом.

— Нно-о? Так они, мошенники, ко мне в избу повадились? — спрашивал он. — Ужо я доберусь до этих мочеганишек и Оленку произведу! Только вот мне домну свою в праздник-то нельзя оставить, потому какой ноне народ — как праздник, все и разбегутся, а я Оленку произведу, шельму.

Действительно, в одно воскресенье Никитич нежданно-негаданно заявился домой и застал всю компанию в сборе. Он, не говоря худого слова, схватил Илюшку Рачителя за ворот и поволок из избы. Потом принялся за Пашку.

— Я вам покажу, молокососы, как стра-

мить отецкую дочь! — орал Никитич, разделываясь с Пашкой. — Я произведу...

Но в самый горячий момент этой отеческой расправы за Пашку вступилась Оленка, и у Никитича опустились руки. Он обругал дочь и только пробормотал:

— Ах ты, бесстыдница Оленка... Ну-ко, погляди мне в глаза!

Вечером Никитич сидел в избе у Тита Горбатого и жаловался на озорника Пашку, который «омманул» его Оленку.

— Как же теперь этому самому делу быть? — спрашивал он, беспомощно разводя руками.

Тит по туляцкой хитрости прикинулся, что не понимает ничего, и только качал головой.

— Нет, што я теперь с дочерью-то буду делать? — приставал Никитич, входя в азарт все больше, — а? Слава-то какая про девку пройдет...

Когда Тит уж не мог больше притворяться, то обещал отдуть Пашку черемуховою палкой, что нисколько не удовлетворило Никитича. Старики долго перекорялись и спорили, а потом отправились решать свое дело в ка-

бак к Рачителихе. У стойки сидел старый Коваль, такой грустный и невеселый.

— Што мы теперь будем делать? — спрашивал Никитич старого хохла, который через Федорку должен был знать все. — Слава-то, слава-то какая!..

Коваль только покрутил своею сивою головой и вздохнул.

— Нечего вам мудрить-то, старые черти! — огрызнулась на всех троих Рачителиха. — Не вашего это ума дело... Видно, брать тебе, Никитич, Пашку к себе в дом зятем. Федорку принял, а теперь бери Пашку... Парень отличный.

Глава 69

Лето было дождливое, и сена поставили сравнительно немного. Особенно неудачная вышла страда на Самосадке, где почти все сено сгнило. В горах это случается: заберется ненастье и кружится на одном месте. И в Мурмосе «сена не издались», так что негде было и купить его ближе ста верст, да и в сторону орды тоже на траву вышел большой «неурождай». Об овсах ходили нехорошие слухи.

— Дело скверное, Леонид Федорыч, — предупреждал Петр Елисеич еще летом нового главного управляющего.

— А нам-то какая печаль? Мы ни овсом, ни сеном не торгуем. Подряды на дрова, уголь и транспорт сданы с торгов еще весной по средним ценам. Мы исполним то, что обещали, и потребуем того же и от других. Я понимаю, что год будет тяжелый, но важен принцип. Да...

— С формальной стороны вы правы, но бывают обстоятельства, когда приходится поступиться даже своим принципом.

— Все это сентиментальности, Петр Елисеич! — смеялся Голиковский. — В доброе старое время так и делали: то шкуру с человека спустят, то по головке погладят. А нужно смотреть на дело трезво, и прежде всего принцип.

— Знаю, знаю. Вы смотрите на людей, как на машину.

— Как и на самого себя. Милый Петр Елисеич, нельзя иначе в таком деле, где все держится принципом.

Споры на эту тему продолжались все лето,

а осенью в Мурмос к главному управляющему явились первыми углепоставщики с Самосадки и заявили, что по взятым ценам они не могут выполнить своих подрядов. Голиковский ответил, что ничего не может сделать для них, а в случае неисполнения поставок они (вынудят его обратиться к закону. Да, их заставят сделать то, что они должны. Он не кричал на мужиков, не топал ногами, не приходил в неистовство, как, бывало, Лука Назарыч, а держал себя совершенно бесстрастно, как доктор с пациентами. Самосадчане три раза пытались уговорить начальство и ушли ни с чем. Та же участь постигла ключевлян, а затем и мурмосских подрядчиков, перевозивших руду, железо и чугун.

Наступила голодная зима, самое ужасное время, какое посылается только в наказание. Предсказания Петра Елисеича начали сбываться, да и не трудно было предвидеть последствия недостатка корма. До первого снега скотина еще кое-как околачивалась, наполовину в лесу, наполовину дома. Богатые мужики успели приколоть лишних коров еще в промежговенье, после филипповок, когда они

еще были нагулянные с лета; мясо съели, а кожа осталась в барышах. Бедные тянулись из последнего, жалеючи ребятишек. В заводе не было даже тех запасов старогодней соломы, которая спасает от голодовок деревню. Между мужиками и бабами началась жестокая война из-за каждого клочка сена: мужики берегли сено лошадям, бабы — коровам и овцам. Голодная скотина ревела «истошным» голосом, и ее выгоняли на улицу, чтобы промышляла еду сама по старым назьмам и около чужих дворов. Коровы сейчас же сбавили молоко, а в Хохлацком конце начался голодный падеж. Не запасливый был народ хохлы на сено, а туляки берегли корм для себя, как и кержаки.

Когда началась вывозка угля и дров, заготовленных в куренях с лета, недокормленные лошади быстро выбились из сил, особенно лошади из дальних мест, как Самосадка. Жаль было смотреть, как голодная скотина валилась с ног. По дороге из Ключевского завода в Самосадку в стороне валялись уже десятки палых лошадей. Мужики крепились до последнего, а потом Самосадка забастовала вся

разом, как один человек. Это было сигналом для Ключевского завода и Мурмоса, где углепоставщики и подрядчики тоже забастовали. Целый заводский округ очутился в самом критическом положении: если по зимнему пути не вывезти древесного топлива, то заводы должны приостановить свое действие на целый год, а это грозило убытками в сотни тысяч рублей. Голиковский прискакал в Ключевской завод в сопровождении уездного исправника; горных исправников уже не существовало, и добряк Иван Семеныч давно удалился на покой в свою Малороссию.

— Это бунт, — заявил Голиковский, входя в комнату. — Очевидно, зачинщики всего дела скрываются в Самосадке. Да, я имею некоторые сведения.

Петр Елисеич отмалчивался, что еще больше раздражало Голиковского. Старик исправник тоже молча курил сигару; это был администратор нового типа, который понимал, что самое лучшее положение дел в уезде то, когда нет никаких дел. Создавать такие бунты просто невыгодно: в случае чего, он же и останется в ответе, а пусть Голиковский сам

расхлебывает кашу, благо получает ровно в пять раз больше жалованья.

— Что же вы молчите, Петр Елисеич? — накинулся Голиковский на своего приятеля.

— Что же я могу вам оказать, Леонид Федорович, кроме того, что уже высказал раньше, за полгода вперед?

— Следовательно, по-вашему, виноват во всем один я? Благодарю. Именно этого я не ожидал от вас!

— Виновато дождливое лето, Леонид Федорович. Я вас предупреждал.

— Да. Но ведь заводы не богоугодное заведение. Прежде всего принцип. Я последовательный человек. Необходимо съездить на Самосадку и в корне вырвать смуту.

Поездка на Самосадку, однако, не привела ни к чему. Остовы палых лошадей по всей дороге иллюстрировали дело лучше всего. В редком дворе находился полный комплект рабочих лошадей: часть вывалилась, а другая обессилела. Если углевозу выгодно было производить поставку, работая на трех лошадях, то работать на одной не было никакого расчета. Переговоры с мужиками окончательно

выяснили положение дела. Исправник слушал и отмалчивался, а для острастки велел взять Мосея Мухина и препроводить его в Мурмос. Собственно, у исправника была своя цель: произвести негласное дознание относительно агитации о своей земле и о новой секте «духовных братьев». Бунт углепоставщиков служил только прикрытием. Пользуясь случаем, он имел несколько объяснений со стариком Основой, а потом просил Петра Елисеича вызвать лесообъездчика Макара Горбатого. Это было легкое предварительное дознание, пока ничего не выяснившее.

— Хорошо, идите домой, — закончил исправник. — После поговорим...

Голиковский заметно испытывал угнетенное состояние духа и по возвращении с Самосадки долго разговаривал с Нюрочкой, горячо интересовавшейся ходом всего дела. Он мог только удивляться, что эта барышня, выросшая в четырех стенах, так много знает.

Голиковский как-то особенно внимательно смотрел все время на Нюрочку, а потом с грустью в голосе заметил:

— Да, я теперь понимаю вас... У вас есть

свой мирок, в котором вы живете. Понимаю и то, почему вы в последнее время заметно отвернулись от меня.

Нюрочка хотела что-то ответить, но Голиковский быстро поцеловал у нее руку и вышел. Ей вдруг сделалось его жаль, и она со слезами на глазах убежала к себе в комнату.

Отъезд Голиковского из Ключевского завода сопровождался трагикомическою сценой. В господский дом явился Морок и, когда Голиковский усаживался уже в экипаж, приступил к нему:

— Вашескородие, явите божескую милость...

— Что тебе нужно, любезный?

— Кобыла издыхает, вашескородие... Какой же я буду человек без кобылы?.. Явите...

— В холодную! — коротко ответил за Голиковского исправник, указывая стоявшему без шапки Основе на бунтаря.

Экипаж уехал, и Основа, подхватив Морока под локоть, шутя проговорил:

— Ну, айда на даровую квартиру!

— Сам приду... — сумрачно ответил Морок, вырываясь. — Еще успеешь.

Он крупно зашагал домой, удрученный горем. Знаменитая кобыла действительно издыхала. Она лежала пластом и не могла подняться даже на передние ноги. Морок сбегал к Домнушке и выпросил несколько ломтей черствого ржаного хлеба. Но кобыла великодушно отказалась от еды, а только посмотрела на хозяина потухавшим большим глазом. Морок не мог даже мысли допустить, что его единственное достояние вдруг превратится в ничто, и послал Феклисту к Рачителихе за косушкой водки, — он, как коновал, пускался на последние средства. Принесенная водка была вылита в рот кобыле, но она уже не могла проглотить живительной влаги и издохла на глазах собравшихся соседей. Морок пришел в какое-то неистовство: рвал на себе волосы, ругался, грозил неизвестно кому кулаком, а слезы так и катились по его лицу.

— Матушка ты моя... кормилица! — причитал заворуй Морок и в порыве охватившей его нежности при всем честном народе поклонился мертвой кобыле в ноги. — Кости твои похороню!..

Сбежавшиеся бабы ревели навзрыд, глядя

на убивавшегося Морока.

Глава 70

Голиковский решился действовать энергично. Он сейчас же послал в степь закупить овса, сена и соломы на тридцать тысяч рублей и распределил этот корм по заводам. Конные рабочие могли забирать доставленные из орды припасы по особым книжкам, как долгосрочную и беспроцентную ссуду. Будь принята эта мера с осени, тысячи лошадей были бы спасены, а теперь скотина уже обессилела, и, как говорили старики, «корм ее ел, а не она корм». Таким образом, только половина ежегодной поставки древесного топлива кое-как была исполнена, и сообразно с этим приходилось соразмерять всякое заводское действие. По закону завод не имел права оставлять население без работы, поэтому заведены были «половинные выписки» — одну неделю работает, а другую гуляет, потом стали работать одну «третью неделю» и т. д. Заработная плата, таким образом, понизилась до невозможного минимума, а тут еще введена была новая система штрафов, вычетов и просто мелких недоплат. Это последнее касалось ближе

всего коренного фабричного люда, которого лошадиный мор не тронул. Общий ропот поднимался со всех сторон.

— Что же я могу сделать? Я не бог, — повторял Голиковский. — Вот только бы отправить весенний караван, а там увидим...

Весенний караван являлся и для заводов и для Голиковского единственным спасением: во-время будет отправлен караван, во-время продастся железо — и заводский год обеспечен средствами, а, главное, владельцы получат установленный дивиденд «по примеру прошлых лет». На Самосадке работа кипела. Благодаря голодовке Голиковский рассчитывал выиграть на караване те убытки, которые понесли заводы на перевозках: можно было подтянуть голодавших рабочих по известному правилу: хлеб дорог — руки дешевы. Все шло отлично: и опять главная поддержка шла от молодых, которым выгодно было работать и за малые платы. Так бы все хорошо и кончилось, не случись дружная весна, — тепло ударило двумя неделями раньше. Началась та спешка, когда пускаются в оборот все наличные силы, не исключая стариков и баб.

Вообще дело получалось горячее, но с первых же шагов почувствовалась какая-то невидимая задержка, а потом перешла в открытый антагонизм. Нужно было устроить «спишку» совсем готовых коломенок в воду, что составляло обыкновенно на Самосадке что-то вроде праздника. Стар и млад сбегались к коломенкам и в свою силу помогали дружной работе. А на этот раз пришли старики в караванную контору и потребовали задаток.

— Это за што? — изумился служащий. — Да в уме ли вы, старички?

— Мы-то в уме, а вот как вы спихиваться будете с Леонидом-то Федоровичем... Он нас достиг, так теперь пусть сам управляется. Когда еще чужестранный народ наберется, а полая вода сойдет. Как бы вы на сухом берегу не остались.

Начались переговоры; а горячее время шло и шло. Каждая минута была дорога. Старички заломили по рублю на человека, — цена неслыханная, чудовищная. Полетел нарочный в Мурмос, и Голиковский приехал сейчас же, опять с исправником. Появление начальства окончательно озлобило народ, и все засе-

ли по домам. Это было похуже бунта с лошадиным мором. Голиковский бесился, подозревая чье-то скрытое влияние, портившее ему все. Староста обегал все избы, сгоняя народ, но на работу вышли все те же молодые рабочие, а старики отсиживались и баб не пустили.

— Я им покажу! — ругался Голиковский, переживавший скверное положение. — Они узнают меня!

— Вода уйдет, Леонид Федорыч, — почтительно докладывая караванный. — Не успеем нагрузиться...

Кончилось тем, что Голиковский уехал, предоставив дело караванному. Он чувствовал, что своим присутствием только портит возможное соглашение: народ был против него. Сделка состоялась на «любой половине», то есть по полтине на брата. За нагрузку тоже пришлось платить усиленно. Одним словом, деньги пришлось отдать несчитанные да время пропустить дня четыре. Караван отвалил с грехом пополам на хвосте весеннего «паводка», рассчитывая обежать главный вал на пути, — коломенки бегут скорее воды. Но вы-

шло несколько иначе благодаря новым случайностям. Паводок ушел, а весь караван обмелел немного пониже бойца Горюна, где раньше похоронил свое богатство Груздев. Голиковский рвал и метал, но дело было непоправимое. Оставалось ждать осени, когда можно будет разгружать весенние коломенки, поднимавшие до пятнадцати тысяч пудов, на полубарки по пяти тысяч. Вся эта операция учетверяла стоимость провоза, а главное — металл не поспеет к сроку ни в Лаишев, ни в Нижний, ни на Низ (низовья Волги). Самосадские старички устукали-таки ненавистного им главного управляющего, который в отместку отнял у них всякий выгон и уже неизвестно для чего закрыл медный рудник Крутяш, существование которого Петр Елисеич отстаивал всеми силами.

— А мне все равно, — повторял Голиковский, чувствовавший, что ему ничего не остается, как только бежать с заводов. — Один в поле не воин... А Самосадку я все-таки укомплектую: на войне как на войне. Мы сами виноваты, что распустили население.

В кабаке Рачителихи происходило неви-

данное еще оживление, какого не было даже при объявлении воли. Наехали самосадчане, и в кабаке шел стоном стон. Старики снаряжали ходоков в Петербург к самим владельцам, а вместе заводили дело о своей земле. Выискался и подходящий адвокат, который обещая «выправить землю». Мосей был выпущен и теперь орудовал с мрачною энергией, как обреченный человек. К самосадским старикам пристал Кержацкий конец и некоторые старички мочегане, как Тит Горбатый и Коваль. Молодяжник отмалчивался, обдумывая свое дело. Наступала летняя пора, и — во все стороны дорога скатертью. Кроме золотых промыслов, рабочие руки требовались на вновь строившуюся железную дорогу. Начались спешные сборы. Молодежь уходила с женами, а дома оставались одни старики с ребятишками. Некоторые избы заколачивались наглухо, потому что некому было в них жить.

Первыми двинулись самосадчане, не взявшие подрядов на куренную работу, за ними потянула Пеньковка, а потом тронулся и Кержацкий конец. Это происходило в начале мая, когда дорога попросохла.

Через Мурмос каждый день двигались целые обозы с уходившими на заработки. Ехали на телегах, нагруженных домашним скарбом и необходимыми для дальней дороги запасами разного провианта. Лука Назарыч, стоя у своего окна, каждое утро наблюдал вереницы двигавшихся подвод, и его старое крепостное сердце обливалось кровью: уходила та живая сила, которая складывалась сотнями лет. Это было все равно, если бы здоровому человеку «отворить кровь». А Голиковский и в ус не дул: выйдет на балкон, закурит сигару и смотрит, как мимо господского дома едут то самосадчане, то ключевляне, то свои мурмосские. Когда новый главный управляющий оставался совершенно спокойным, старый крепостной управляющий Лука Назарыч ужасно волновался и, как говорится, не находил себе места. Его волнение разделял только — «неизменное копье» — бывший личный секретарь Овсянников, высохший на канцелярской работе.

— Что же это такое, Лука Назарыч? — спрашивал Овсянников. — Ведь это без смерти смерть... Голиковский-то уедет, а мы останем-

ся. Нам некуда идти.

Даже ночью не спится Луке Назарычу: все он слышит грохот телег и конский топот. А встанет утром и сейчас к окну: может быть, сегодня остановятся. Не все же уедут... Раза два из господского дома забегал к Луке Назарычу верный раб Аристашка, который тоже мучился переселением.

— Ну, что твой-то барин? — спрашивал нехотя Лука Назарыч.

— А ничего: сидит да свои цыгарки курит... Нехорошо, Лука Назарыч.

Наконец, старик не вытерпел. Однажды утром он оделся с особенною тщательностью, точно в христовскую заутреню: надел крахмальную манишку, пестрый бархатный жилет, старомодный сюртук синего аглицкого сукна и дареные часы-луковицу. Торжественно вышел он из дома и направился прямо в господский дом, в котором не бывал со времени своего изгнания. Голиковского он видел раза два только издали. Аристашка остолбенел, когда в переднюю вошел сам Лука Назарыч.

— Доложи барину, — коротко приказал Лу-

ка Назарыч.

Голиковский вышел встретить редкого гостя на верхнюю площадку лестницы.

— Я очень рад видеть вас, дорогой Лука Назарыч.

— Давно собираюсь, Леонид Федорыч, да все как-то не мог удосужиться. Да и вы — занятой человек... да...

Первый момент свидания вышел довольно натянутым, как Голиковский ни старался занять гостя. Лука Назарыч как-то все ежился, точно ему было холодно, и только кряхтел, хмуря седые брови. Наконец, он поднялся, застегнул сюртук на все пуговицы и проговорил:

— Леонид Федорыч, что же это такое?

— А что? — сухо спросил Голиковский, суживая косивший глаз.

— Да ведь весь народ разбежится с наших заводов! Значит, невтерпеж, если побросали и дома и всякое обзаведение и побрели куда глаза глядят.

— Ах, вы вот про что, дорогой Лука Назарыч... Да... К сожалению, вы беспокоитесь совершенно напрасно: без рабочих не останем-

ся.

— Как без рабочих?

— Наймем из других мест; наконец, выпишем из России...

— Других? Нет, уж извините, Леонид Федорыч, других таких-то вы днем с огнем не сыщете... Помилуйте, взять хоть тех же ключевлян! Ах, Леонид Федорович, напрасно-с... даже весьма напрасно: ведь это полное разорение. Сила уходит, капитал, которого и не нажить... Послушайте меня, старика, опомнитесь. Ведь это похуже крепостного права, ежели уж никакого житья не стало... По душе надо сделать... Мы наказывали, мы и жалели при случае. Тоже в каждом своя совесть есть...

Голиковский не дал кончить, а, положив руку на плечо Луке Назарычу, сухо ответил:

— Я очень уважаю вас, Лука Назарыч, но не люблю, когда люди суются в чужие дела.

Он круто повернулся и ушел к себе в кабинет.

— Как в чужие? — крикнул ему вслед Лука Назарыч. — Ты здесь чужой, а мы-то свои все... Это наше кровное дело.

Постояв с минуту, старик махнул рукой и

побрел к выходу. Аристашка потом уверял, что Лука Назарыч плакал. На площади у памятника старика дожидался Овсянников. Лука Назарыч шел без шапки, седые волосы развевались, а он ничего не чувствовал. Завидев верного крепостного слугу, он только махнул рукой: дескать, все кончено.

Глава 71

Заводы остановились, «жила» опустели. Половина изб стояла с заколоченными окнами. Лето прошло невеселое: страдовали старики да бабы с подростками. Почти все мужское взрослое население разбрелось куда глаза глядят, побросав дома и семьи. Случилось что-то стихийно-ужасное, как поветрие или засуха. На покосах больше не пели веселых песен и не курились покосные огоньки, точно пронеслось мертвое дуновение. Раньше на время делалась мертвой только одна фабрика, а теперь замерло вместе с фабриками и все жилое. Картина получилась ужасная, точно после военного разгрома. Последним уехал сам Голиковский. Он поступил на другое место с еще большим жалованьем, как «человек твердого характера».

В Ключевском заводе безмолвствовали все три конца, как безмолвствовала фабрика и медный рудник. По праздникам на базаре не толпился народ, а вечером домой с пасева возвращалось всего десятка два коров. Не было жизни, не было движения, не было трудового шума, который поднимался вместе с зарей. Петр Елисеич по прежнему оставался в господском доме в ожидании назначения нового главного управляющего, а пока мог наблюдать только за сохранением пустовавшей фабрики и медного рудника. Он по привычке аккуратно поднимался в пять часов и отправлялся с деловым видам по знакомой дороге на фабрику. На плотине у спуска к доменному корпусу его уже ждал остававшийся по прежнему сторожем Слепень. Он стоял без шапки, молча кланялся и сейчас же отбивал на работу. Петр Елисеич спускался вниз и завертывал в доменный корпус, где теперь жил, как дома, остававшийся без дела мастер Никитич. Он сильно постарел, а борода сделалась совсем седой.

— Что новенького, Петр Елисеич? — спрашивал Никитич, вытягиваясь перед управи-

телем в струнку.

— А скоро назначат нового управляющего, — отвечал Петр Елисеич. — Ну, а ты как тут живешь?

— Живу, родимый мой, как сизый голубь... День прошел, и слава богу.

Они вдвоем обходили все корпуса и подробно осматривали, все ли в порядке. Мертвым холодом веяло из каждого угла, точно они ходили по кладбищу. Петра Елисеича удивляло, что фабрика стоит пустая всего полгода, а между тем везде являлись новые изъяны, требовавшие ремонта и поправок. Когда фабрика была в полном действии, все казалось и крепче и лучше. Явились трещины в стенах, машины ржавели, печи и горны разваливались сами собой, водяной ларь дал течь, дерево гнило на глазах.

— Отчего это, Никитич, все рушится так скоро? — спрашивал Петр Елисеич, указывая на все эти признаки начинавшегося разложения. — Если бы фабрика была в полном ходу, этого бы не было...

— Не было бы, родимый мой... Все равно, как пустой дам: стоит и сам валится. Пока жи-

вут — держится, а запустел — и конец. Ежели здорового человека, напримерно, положить в лазарет, так он беспременно помрет... Так и это дело.

— Что же, правильно, — соглашался Петр Елисеич.

— Уж это завсегда так...

Бездействовавшая фабрика походила на парализованное сердце: она остановилась, и все кругом точно омертвело. Стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего всеми своими железными членами в каменном гробу. Именно такое чувство испытывал Петр Елисеич каждый раз, когда обходил с Никитичем фабричные корпуса.

Никитич сторожил фабрику совершенно добровольно, как добровольно Петр Елисеич каждое утро делал свой обход, — оба отлично понимали друг друга. Однажды Никитич сообщил по секрету удивительную вещь.

— Этак вечерком лежу я в формовочной, — рассказывал Никитич таинственным полуголосом, — будто этак прикурнул малость... Лежу и слышу: кто-то как дохнет всею пастью! Ей-богу, Петр Елисеич... Ну, я выскочил в кор-

пус, обошел все, сотворил молитву и опять спать. Только-только стану засыпать, и опять дохнет... Потом уж я догадался, что это моя-то старуха домна вздыхала. Вот сейчас провалиться...

С фабрики Петр Елисеич шел на медный рудник, где его ждал Ефим Андреич. Старый рудничный смотритель находился в ужасной тревоге: оставленная медная шахта разрушалась на глазах. Главное, одолевала жильная вода, подкапывавшаяся где-то там в таинственной глубине, как вор. Если Никитич слышал дыхание своей домны, то Ефим Андреич постоянно чувствовал, как его шахта напрасно борется с наступающим на нее врагам — водой. Это было ужасно, как ужасно видеть захлебывающегося человека. Припав ухом к земле, Ефим Андреич слышал журчание сочившейся воды, слышал, как обваливалась земля, а враг подходил все ближе и ближе. Рискуя собственною жизнью, он несколько раз один спускался по стремянке и ползал по безмолвным штольням и штрекам, как крот. Новые работы еще держались, но старые быстро наполнялись водой. Откуда толь-

ко эта вода и бралась? И вода особенная: студеная, темная, тяжелая и зловещая, какая бывает только в рудниках. Холод смерти проникал все, как разлагавшийся труп. Ефим Андреич мог только вздыхать...

Иногда с рудника Петр Елисеич завертывал к Ефиму Андреичу напиться чаю, а главным образом, поговорить о разных разностях. Ефим Андреич выписывал «Сын отечества» и усиленно следил за политикой, так что тема для разговоров была неисчерпаема.

— Опять поговорили о политике? — говорила Нюрочка, если отец заставлял ее ждать с обедом.

— Да... немножко...

Нюрочка стала замечать, что вообще с Петром Елисеичем творится что-то неладное: он стал забываться, был ужасно рассеян и вообще изменялся на глазах. Нюрочка нарочно посылала за о. Сергеем, чтобы развлечь отца. Вася Груздев, живший теперь в Ключевском заводе, в счет не шел: он был своим человеком в доме. Дела у Груздева расстроились окончательно, так что всю торговлю в Ключевском заводе он передал сыну. Но это было

немного поздно: приказчики успели растащить все, так что даже подсчитать их не было никакой возможности. Да и душа у Васи не лежала к торговле. Он даже смущался тем, что сделался сидельцем. Передом ноги подействовал на него решающим образом: прежнего сорванца как не бывало. Конечно, дело тут было не в ноге, а в том влиянии, которое произвела на него Нюрочка. Вася только через нее увидел себя и неучем и дрянным человеком. Ему сделалось ужасно совестно за свою беспорядочную жизнь, и он потихоньку начал учиться, чтобы догнать Нюрочку хоть немного. Переезд в Ключевской завод окончательно переделал его, и Вася откровенно признался Нюрочке в своих недостатках, пороках и слабостях, а также и в том, что искренне желает исправиться и прежде всего учиться. Это духовное воскресение привело Нюрочку в восторг, и она предложила свои услуги по части занятий.

— Через год вы можете быть народным учителем, — с наивною серьезностью говорила она, как старшая сестра. — Не унывайте.

— Я буду стараться, Анна Петровна.

Ах, какое это было хорошее время, время розовых надежд, веры и счастливых молодых грез!.. Сознавая собственную неподготовку, Нюрочка сама училась с лихорадочною энергией. Раньше занятия шли только по обязанности, под влиянием отца, а теперь они получили самостоятельный и глубокий внутренний смысл. Заниматься Вася мог только по вечерам, когда кончал торговлю. Он обыкновенно приходил к вечернему чаю и терпеливо ждал, когда Нюрочка освободится. Занятия происходили в зале, а Петр Елисеич шагал по ней из угла в угол, заложив руки за спину. Он тоже занимался с Васей, но по своему методу, путем бесед и рассказов. Старик сам увлекался, когда начинал рассказывать о чудесах современной техники, о том страшном движении вперед, которое совершается сейчас на европейском Западе, о том, что должно сделать у нас. Ах, если бы можно было зажить сначала, — ведь теперь открыты все пути, не то что в глухое крепостное время. И сколько работы молодым поколениям, святой, необходимой работы!.. Потухавшие глаза старика разгорались, и он переживал каждый раз вос-

торженное настроение, выкупавшееся потом старческою апатией и тоской.

— Я, папа, непременно поеду за границу, — мечтала вслух одушевлявшаяся Нюрочка. — Все увижу своими глазами.

— Следует съездить, — соглашался Петр Елисеич, — следует... Хотя бы для того одного, чтобы сделалось совестно за окружающую родную действительность.

Эти разговоры о поездке Нюрочки отзывались в душе Васи режущею болью, и на время эта чудная девушка точно умирала для него. Да, она уедет и не вернется, а он так и останется на всю жизнь сидельцем. Вася квартировал в новом доме солдата Артема и через Домнушку знал все заводские новости. Веселого в них ничего не было: всех начинала донимать быстро разраставшаяся нужда. Заработков не было, и проедали последнее. Солдат Артем сумел выжать деньги и из этой беды, выдавая харчи и разный лежалый товар под заклад одежи и разной другой домашности. Операция оказалась чрезвычайно выгодною, и каждую неделю Артем отправлял несколько возов с одежей, конскою сбруей и разною

рухлядью куда-то на золотые промыслы, где все это продавалось уже по настоящей цене. Другие торгаши сидели без дела, а солдат набивал мошну. По улицам стали бродить нищие десятками, чего раньше и «в заводе» не было. Да и семейные люди сидели впроголодь. Все надежды и упования увезли с собой по разным местам те, кто еще был в силах и надеялся найти работу. Особенно жутко приходилось разному сиротству, изработавшимся на огненной работе старикам и вообще всем тем, кто жил в семье из-за готового хлеба и промышлял по части разной домашности.

Даже такие семьи, как Горбатые, и те нуждались, хотя и крепились. Собственно говоря, единственную рабочую силу представлял Макар, который по прежнему оставался лесообъездчиком, хотя вот уже целых полгода не получал жалованья. Большак Федор по-прежнему оставался в орде, Фрол ушел на заработки, а жену Агафью с детьми бросил на произвол судьбы. Артем жил в отделе, как и Пашка, поселившийся у Никитича «влазнем». Впрочем, Пашка тоже ушел куда-то на железную доро-

гу и увел за собой Оленку. У Макара лежалых денег не было, и семья с трудом перебивалась изо дня в день. Старому Титу больше всего не хотелось «покориться солдату», который звал его жить к себе, а денег не давал.

— Лучше помру, этово-тово, а к солдату не пойду, — повторял упрямый Тит. — Вот ребятишек жаль... Эх, не надо было из орды выворачиваться. Кабы не проклятущие бабенки, жили бы, этово-тово...

Макар сделался задумчивым до суровости. Татьяна больше не боялась за него, хотя он и частенько похаживал в Кержацкий конец к мастерице Таисье. Аглаида тоже бывала у Таисьи, но она содержала себя строго: комар носу не подточит. У Таисьи шли какие-то таинственные беседы, в которых принимали участие старик Основа, Макар и еще кое-кто из мужиков. Пробовали они залучить к себе и Тита, но старик не пошел.

В Туляцком конце только две семьи поднялись на ноги: Филипп Чеботарев, у которого все девки, за исключением Феклисты, уходили на промысла, да старуха Мавра, мать разбойника Окулка. Чеботаревы девки выносили

с промыслов и наряды и деньги, а Наташка, сестра Окулка, пожилась около Груздева, когда тот еще был в силе. У Мавры теперь была своя изба. В Хохлацком конце была сплошная нужда. Между прочим, быстро захудали Ковали, потому что Терешка-казак бросил семью и ушел вместе с другими куда-то на промысла. Разбогатевшая Рачителиха собиралась переезжать в Мурмос. Илюшка хотел открывать там свою торговлю и пока проживался в Ключевском только из-за того, что выжидал жениться на старшей дочери старика Основы. Поговаривали, что Спирька Гущин хочет жениться на Наташке, которая слыла теперь за богатую невесту. Все три конца срастались все больше. Первые свадьбы выходили убегом, вызывая родительские проклятия и неприятности, а теперь говорили о предполагавшихся свадьбах как о деле законном. Сама Рачителиха не перечила любимцу Илюшке, только бы сын был счастлив с кержанкой.

Действительно, после пасхи сыграли обе свадьбы в Кержацком конце совсем открыто. Мочегане и кержаки, наконец, сошлись за свадебным столом, что было крепче и кре-

постного права, и кабака Рачителихи, и огненной работы, и соединявшей всех нужды. Солдат Артем, как ни в чем не бывало, пировал на свадьбе у Спирьки Гущина, бывшего любовника своей жены, — он нарочно пошел на эту свадьбу, чтобы отомстить и Домнушке и показать всем, что он плевать хочет на пересуды да на бабьи сплетни. Он теперь каждый вечер уходил в господский дом и сидел в кухне до тех пор, пока Катря не выгоняла его. Говорили, что он ждет только смерти Домнушки, чтобы жениться на Катре.

Одни играли свадьбы, а другие тужили да горевали. Наступала страда, а запасов не хватало на покос. Старый Тит прикидывал и так и этак, — ничего не выходило. Макар не обращал внимания на хозяйственные недостатки, а только читал какие-то церковные книги да долго молился по ночам. «Ох, уйдет в кержаки!» — думал старый Тит в ужасе, хотя открыто и не смел сказать Макару своих стариковских мыслей. Татьяна тоже потихоньку плакала. Снохи вообще со всякою бедой шли к свекру и, наконец, доняли-таки его перед страдой, чтобы сходил к солдату Артему и пе-

рехватил деньжонок на страду. Тит ругался и даже замахивался на снох, а потом согласился.

Идти ему одному к солдату очень уж было муторно, и он завернул к свату Ковалю, — Ковали давно занимали деньги у Артема под разный заклад.

— И то пойдем, сват, — согласился Коваль. — Не помирать же с голода... Солдат на свадьбе у Спирьки пировал третьего дня, а с похмелья он добрее.

— Увидим, этово-тово...

— У магазин пойдем к бисову сыну!.. Отто выворотень!..

Старики отправились, подпираясь палками, — плохо уж ходили старые ноги. Проходя мимо кабака Рачителихи, старый Коваль остановился, покрутил своею сивою головой и вопросительно посмотрел на свата.

— А ну его, этово-тово, — ответил Тит на немое предложение старого пьяницы и благочестиво отплюнулся. — Добрым людям есть нечего, а тут кабак... тьфу!

Вплоть до дома Артема сваты шли молча, удрученные самыми разнообразными мысля-

ми.

— Тебе, сват, попереду у магазин идти, — решил Коваль, останавливаясь перед стеклянными дверями солдатского магазина.

Дверь оказалась незапертой, как обыкновенно. Тит, поправив опояску, вошел первым, огляделся и вылетел назад, точно его сдуло из магазина ветром. Он чуть не сшиб с ног Коваля.

— А штоб тебя ущемило! — ругался Коваль.

Тит совершенно растерялся и не мог вымолвить ни одного слова. Он только показывал рукой в магазин... Там над прилавком, где в потолочине были на толстом железном крюке прилажены весы, теперь висела в петле Домнушка. Несчастная баба хоть своею смертью отомстила солдату за свой последний позор.

Глава 72

Трагический конец Домнушки произвел на Петра Елисеича потрясающее впечатление. Он несколько раз ходил на место печального происшествия и возвращался точно в тумане. Катря заметила первая, что «с паном неладно» — и ходит не по прежнему и как

будто заговаривается. Положим, он всегда отличался некоторыми странностями, но сейчас они обострились. Свои подозрения Катря сообщила Нюрочке, которая похолодела от ужаса. Действительно, во всем сказывался повихнувшийся человек, особенно в этих бесцельно-торопливых движениях и лихорадочно-бессвязной речи Нюрочка сейчас же послала за Таисьей.

— Поздравь меня, — говорил ей Петр Елисеич. — Меня назначили главным управляющим вместо Голиковского... Как это мне раньше не пришло в голову? Завтра же переезжаем в Мурмос... А главное: винокуренный завод, потому что пруд в Мурмосе мелкий и воды не хватает зимой.

Таисья только качала головой, слушая этот бред. Вечером завернул о. Сергей, уже слышавший о несчастии. Нюрочка встретила его с красными от слез глазами. Она догадалась, что о. Сергея пригласил Вася.

— Необходимо послать за доктором, — решил о. Сергей. — И чем скорее, тем лучше.

— Я сам съезжу, — вызвался Вася. — Ночью успею обернуться...

Какая это была ужасная ночь!.. Петр Елисеич уже давно страдал бессонницей, а теперь он всю ночь не сомкнул глаз и все ходил из комнаты в комнату своими торопливыми сумасшедшими шагами. Нюрочка тоже не спала. Она вдруг почувствовала себя такою одинокой, точно целый мир закрылся перед ней. Что-то бессмысленно-страшное неожиданно поднялось перед ней, и она почувствовала себя такою маленькой и беззащитной. У других есть хоть близкие родные, а у ней никого, никого... Куда она денется с сумасшедшим отцом и другим сумасшедшим, Сидором Карпычем?.. Утешителем явился Ефим Андреич, который прибежал чуть свет. Старик ужасно обиделся, что за ним не послали вчера же, как за о. Сергеем.

— Слава богу, не чужие, — повторял он и в порыве нежности по-отечески поцеловал Нюрочку в голову. — Умница вы моя, все мы так-то... живем-живем, а потом господь и пошлет испытание... Не нужно падать духом.

Доктор приехал только к обеду вместе с Васей. Он осмотрел больного и только покачал головой: углы губ были опущены, зрачок не

реагировал на свет. Одним словом, перед ним был прогрессивный паралич в самой яркой форме.

— Как вы нашли больного, доктор? — со страхом спрашивала Нюрочка. — Пожалуйста, говорите правду...

— Хорошего ничего нет, хотя, конечно, бывают случаи... Вообще не следует приходить в отчаяние.

Нюрочка горько зарыдала, охваченная отчаянием. Господи, за что же? Ведь живут же другие, тысячи и миллионы этих «других». Наконец, зачем такая страшная кара, как сумасшествие? Лучше было бы, если бы он умер, как все другие, а не оставался бессмысленным и жалким существом, как позор жалкой в своей немощи человеческой природы. Тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Нюрочки, и ей самой начинало казаться, что и она тоже сходит с ума. Она даже заметила по особой внимательности доктора, что и на нее смотрят как на кандидатку в сумасшедшие. Ее охватил смертельный ужас за самое себя, и она стала наблюдать за каждым своим шагом, за каждым словом и каждою мыслью,

подмечая ненормальности и уклонения. Да, и она тоже сумасшедшая, и давно сумасшедшая, сумасшедшая дочь сумасшедшего отца! Наследственность не знает пощады, она в крови, в каждом волокне нервной ткани, в каждой органической клеточке, как отрава, как страшное проклятие, как постоянный свидетель ничтожества человека и всего человечества.

— Необходимо их разъединить, — посоветовал доктор Ефиму Андреичу, которого принимал за родственника. — Она еще молода и нервничает, но все-таки лучше изолировать ее... Главное, обратите внимание на развлечения. Кажется, она слишком много читала для своих лет и, может быть, пережила что-нибудь такое, что действует потрясающим образом на душу. Пусть развлекается чем-нибудь... маленькие удовольствия...

— Какие у нас удовольствия, господин доктор! — уныло отвечал Ефим Андреич, удрученный до глубины души. — Всего и развлечения, что по ягоды девушки сходят или праздничным делом песенку споют...

— Как уж там знаете... Мое дело — оказать.

А больного необходимо отправить в больницу в Пермь... Там за ним будет и уход и лечение, а бывают случаи, что и выздоравливают. Вот все, что я могу сказать.

— Что же вы нас оставляете в такую минуту, доктор? — умоляюще заговорил Ефим Андреич. — Мы впотьмах живем, ничего не знаем, а вы — человек образованный... Помогите хоть чем-нибудь!

— Наука бессильна, наука сама ничего не знает в этой области, — с грустью ответил доктор. — Я остался бы, если бы мог принести хоть какую-нибудь пользу.

Доктор был хороший человек и говорил вполне искренне. Такие случаи собственного бессилия на самого него нагоняли какую-то подавлявшую тоску, и он понимал состояние Нюрочки. После некоторого раздумья он прибавил:

— Все, что я могу сделать, это — самому проводить больного до Перми, если заводоуправление даст мне отпуск.

Доктор остался в Ключевском заводе на несколько дней, воспользовавшись предлогом привести в порядок заводскую больницу.

Кстати ждали следователя по делу о повесившейся Домнушке, которую приходилось «потрошить» ему же. Он поселился в господском доме, в комнате Нюрочки, а сама Нюрочка на время переехала к Парасковье Ивановне. Катря пока ушла к своим, то есть в избу к Ковалям, благо там место теперь для нее нашлось. Каждый вечер доктор уходил в Пеньковку и подолгу сидел, разговаривая с Ефимом Андреичем или с Нюрочкой. Его заинтересовал этот изолированный мирок, где были свои интересы, свои взгляды, убеждения и вообще целый порядок неизвестной ему жизни. Нюрочка просто поражала его: как могла такая девушка родиться и вырасти в такой ветхозаветной обстановке? Нюрочка скоро привыкла к новому человеку, и только Парасковья Ивановна косилась на него. Вася тоже приходил по вечерам, скромно усаживался куда-нибудь в уголок и больше молчал, подавленный своею необразованностью, — он от всей души завидовал доктору, который вот так свободно может говорить с Нюрочкой обо всем, точно сам родился и вырос в Ключевском.

Вместо нескольких дней доктор зажился

целых две недели, потому что задержал следователь, приехавший производить следствие по делу Домнушки. Парасковья Ивановна ужасно волновалась и зорко следила за каждым шагом Нюрочки. Старушке казалось, что девушка как будто начала «припадать» к доктору, день ходит, как в воду опущенная, и только ждет вечера. Конечно, доктор полюбопытнее Васи, а разговору сколько хочешь. Да и доктор тоже как будто припадал к Нюрочке, — так глазами и ищет ее. Долго крепилась Парасковья Ивановна и, наконец, не вытерпела. Раз вечером, оставшись в комнате с глазу на глаз с доктором, она с решительным видом проговорила:

— Вот что, Иван Петрович, давно я хочу сказать тебе одно словечко. Не обижайся на глупую старуху.

— Пожалуйста, говорите, Парасковья Ивановна.

— Уж как там знаешь, а скажу... Вот ты теперь Домнушку распотрошил и повезешь Петра Елисеича в умалишенную больницу.

— Да, повезу...

— Повезешь-то повезешь, дай тебе бог здо-

ровья, а только назад-то уж к нам в Ключевской не ворочайся...

— Это почему?

— А вот по этому самому... Мы люди простые и живем попросту. Нюрочку я считаю вроде как за родную дочь, и жить она у нас же останется, потому что и деться-то ей некуда. Ученая она, а тоже простая... Девушка уж на возрасте, и пора ей свою судьбу устроить. Ведь правильно я говорю? Есть у нас на примете для нее и подходящий человек... Простой он, невелико за ним ученье-то, а только, главное, душа в ём добрая и хороших родителей притом.

— Какое же это отношение имеет ко мне?

— Да уж такое... Все науки произошел, а тут и догадаться не можешь?.. Приехал ты к нам, Иван Петрович, незнаемо откуда и, может, совсем хороший человек, — тебе же лучше. А вот напрасно разговорами-то своими девушку смущаешь. Девичье дело, как невитое сено... Ты вот поговоришь-поговоришь, сел в повозку, да и был таков, поминай как звали, а нам-то здесь век вековать. Незавидно живем, а не плачем, пока бог грехам терпит...

— Понимаю, Парасковья Ивановна...

Доктор задумался и даже немного покраснел, проверяя самого себя. Да, самое лучшее будет ему не возвращаться в Ключевской завод, как говорит Парасковья Ивановна. Нюрочка ему нравилась, как редкий экземпляр — не больше, а она могла взглянуть на него другими глазами. Да и момент-то выдался такой, что она пойдет на каждое ласковое слово, на каждый участливый взгляд. Он не подумал об этом, потому что думал только об одном себе.

— Хорошо, я уеду, Парасковья Ивановна, — согласился он. — Спасибо за хороший совет...

— Уж не взыщи на глупом совете, голубчик!.. Я тебе ужо подорожников испеку: не поминай старуху лихом.

Доктор и Парасковья Ивановна расстались большими друзьями. Проводы Петра Елисеича всего больше походили на похороны. Нюрочка потеряла всю свою выдержку и навела тоску слезами на всех. Она прощалась с отцом навсегда и в последнюю минуту заявила, что непременно сама поедет.

— Мы с тобой потом съездим проведать

его, — уговаривала ее Парасковья Ивановна. — Не женское это дело, а доктор управится и без нас. Только мешать ему будем.

По пути доктор захватил и Сидора Карпыча, которому теперь решительно негде было жить, да и его присутствие действовало на Петра Елисеича самым успокоительным образом. Вася проводил больных до Мурмоса и привез оттуда весточку, что все благополучно. Нюрочка выслушала его с особенным вниманием и все смотрела на него, смотрела не одними глазами, а всем существом: ведь это был свой, родной, любящий человек.

— Вася... Вася... — шептала она, протягивая руки.

— Нюрочка...

Эпилог

По дороге из Мурмоса в Ключевской завод шли, не торопясь, два путника, одетые разночинцами. Стояло так называемое «отзимье», то есть та весенняя слякоть, когда ни с того ни с сего валится мокрый снег. Так было и теперь. Дорога пролегала по самому берегу озера Черчеж, с которого всегда дул ветер, а весенний ветер с озера особенно донимал.

— Эк его взяло! — ворчал высокий сгорбленный путник, корчившийся в дырявом дипломате. — Это от Рябиновых гор нашибает ветром-то... И только мокроть!.. Прежде, бывало, едешь в фаэтоне, так тут хоть лопни дуй...

— Ох, было поезжено, Никон Авдеич!.. А теперь вот на своих на двоих катим. Что же, я не ропщу, — бог дал, бог и взял. Даже это весьма необходимо для человека, чтобы его господь смирял. Человек превознесется, задурит, зафордыбачит, а тут ему вдруг крышка, — поневоле одумается.

— Правильно, Самойло Евтихыч.

Это были наши старые знакомые — Палач и старик Груздев. Груздев совсем был седой, но его грубое лицо точно просветлело и глаза смотрели с улыбающеюся кротостью. Одет он был в старый полушубок, видимо, с чужого плеча, и в выростковые крестьянские сапоги. Рядом с ним Палач казался гораздо старше: сгорбленный, худой, с потухшими глазами и неверною походкой. Сказывался старый пьяница, утоливший в водке всю свою богатырскую силу. Палача мучила одышка, и он через

каждые две-три версты садился отдыхать. Груздев тоже присаживался рядом с ним и все что-нибудь говорил, точно старался развлечь своего спутника.

— Долги, поди, будешь собирать в Ключевском-то? — спрашивал Палач, раскуривая дорожную трубочку.

— Надо походить по добрым людям... Только это напрасно: бедным отдать нечего, а с богатых не возьмешь. Такой народ пошел нынче, что не сообразишь...

— А приказчими-то твои как разжились нынче... Илюшка Рачитель вон как в Мурмосе расторговался, Тишка в Ключевском, а про Артема Горбатого и говорить нечего... В купцы, слышь, записаться хочет. Он ведь на Катре женился, на хохлушке?

— На ей на самой.

— Ну, а как Вася?

— А мой-то Васька устроился совсем хорошо, как женился. Третий год пошел, как Петр-то Елисеич кончился в душевной больнице, а Нюрочка и вышла замуж за Васю через год.

— Хорошо живут?

— Лучше не надо... Она тут земскою учи-

тельшей, а Вася-то у ней в помощниках. Это он так, временно... Лавку открывает, потребительская называется, чтобы напротив солдату Артему: сами сложатся, кто хочет, накупят товару и продают. Везде по заводам эта самая мода прошла, а торгующим прямой зарез...

— Что же начальство смотрит? Ежели бы при мне начали устраивать таких потребителей, так я прописал бы им два неполных... До свежих веников не забыли бы!

В этих разговорах время шло незаметно. Палач сильно ослабел и едва волочил ноги. Его душил страшный кашель, какой бывает только у пропойц. Когда они уже подходили к Ключевскому заводу, Палач спросил:

— У сына остановишься, Самойло Евтихыч?

— А не знаю. Ближе бы к сыну, да беспокоить не хочется. Есть у меня дружки на Ключевском, у кого-нибудь пристану. А ты?

— Я-то? Уж, право, и не знаю... Да и иду-то я с тобой не знаю зачем. В кабак к Рачителихе сперва пройду.

Груздев только вздохнул и про себя пожалел совсем погибшего человека. Сам он чув-

ствовал себя так хорошо и легко, точно снова родился. Палач все время проживал в Мурмосе, опускаясь все ниже и ниже. Сначала он кутил дома, потом ходил по знакомым, выжидая угощения, а кончал кабаком. В Ключевской завод, где он когда-то царил, его давно тянуло, но удерживала известная гордость, какая сохраняется и у пьяниц. Встретившись с Груздевым, он вдруг решил отправиться в Ключевской завод. Ему хотелось повидать Анисью, которая завела там какую-то торговлю и, как говорила молва, жила припеваючи. Он знал, что Анисья жила с бывшим груздевским обережным Матюшкой Гущиным, но это ничего не значит: неужели у них не найдется для него рюмки водки?

В Ключевском заводе путешественники распростились у кабака Рачителихи. Палач проводил глазами уходившего в гору Груздева, постоял и вошел в захватанную низкую дверь. Первое, что ему бросилось в глаза, — это Окулко, который сидел у стойки, опустив кудрявую голову. Палач даже попятился, но пересилил себя и храбро подошел прямо к стойке.

— Налей стаканчик... — хрипло проговорил он, бросая несколько медяков на стойку.

Рачителиха еще смотрела крепкою женщиной лет пятидесяти. Она даже не взглянула на нового гостя и машинально черпнула мерку прямо из открытой бочки. Только когда Палач с жадностью опрокинул стакан водки в свою пасть, она вгляделась в него и узнала. Не выдавая себя, она торопливо налила сейчас же второй стакан, что заставило Палача покраснеть.

— Что, признала? — спросил он, делая передышку.

— Как не признать, Никон Авдеич...

Окулко поднял голову и внимательно посмотрел на Палача. Их глаза встретились. Палач выпил второй стакан, вытер губы рукой и спросил Окулка:

— Что, узнал?

Не дожидаясь ответа, Палач хрипло засмеялся.

— Откуда бог несет? — спрашивала Рачителиха участливым тоном. — Вон какая непогодь.

— А пришел посмотреть, как вы тут живе-

те... Давно не бывал. Вот к Анисье в гости пойду... Может, и не прогонит.

— Как будто оно неловко, Никон Авдеич, — заговорила Рачителиха, качая головой. — Оно, конечно, дело житейское, а все-таки Матюшка-то, пожалуй, остребенится...

— Да ведь я не к нему?

— Ты-то не к нему, да Анисья-то его, выходит... Как же этому делу быть, Никон Авдеич?

Палач только развел руками: дескать, что тут поделаешь? Молчаливый Окулко еще раз посмотрел на него и проговорил:

— Пойдем ко мне в волость ночевать, Никон Авдеич... Прежде-то мы с тобой ссоривались, а теперь, пожалуй, и делить нам нечего.

— И в самом деле, — подхватила Рачителиха, — чего лучше! Тепло в волости-то, а поесть я ужо пришлю. К Анисье-то погоди ходить.

— Давай нам полуштоф, Дуня, — заявил Окулко. — Устроим мировую.

На стойке появилась опять водка. Бывший крепостной разбойник и крепостной управитель выпили вместе и заставили выпить Рачителиху, а потом, обнявшись, побрели из кабака в волость.

— Кто у вас старшиной-то нынче, Окулко? — спрашивал Палач.

— А Макар Горбатый... Прежде в лесообъездчиках ходил. Основа-то помер, так на его место он и поступил... Ничего, правильный мужик. В волости-то не житье, а масленица.

Так они подошли самым мирным образом к волости. Окулко вошел первым и принялся кого-то расталкивать в темной каморке, где спали днем и ночью волостные староста и сотские.

— Эй, вставай, голова малиновая! — будил Окулко лежавшего пластом на деревянном конике мужика. — Погляди-ко, какого я гостя приспособил.

С трудом поднялась мохнатая голова и посмотрела на вошедших. Это был заворуй Морок, служивший при волости сторожем. Окулко исправлял должность сотского. Долго он ходил из острога в острог, пока был не вырешен окончательно еще по старому судопроизводству: оставить в подозрении — и только. Пришел Окулко после двадцатилетнего скитальчества домой ни к чему, пожил в новой избе у старухи матери, а потом, когда выбра-

ли в головы Макара Горбатого, выпросился на службу в сотские — такого верного слуги нужно было поискать. С Мороком они жили душа в душу и свою службу исправляли с такою ревностью, что ни одна кража и никакое баловство не могло укрыться. Прочухавшись, Морок вглядывался в Палача и потом ахнул от изумления.

— А ты вот што, Морок: соловья баснями не кормят... Айда к Рачителихе за полштофом! Душа разгорелась.

Вечером в волости все трое сидели обнявшись и горланили песни. Пьяный Палач плакал слезами умиления.

Расставшись с Палачом у кабака Рачителихи, Груздев бодро пошел к базару. Вон и магазин солдата Артема и лавка Тишки — все его разорители радуются. Ну, да бог с ними. Рядом с домом солдата Артема красовался низенький деревянный домик в шесть окон — это была новая земская школа. Нюрочка с мужем и жили в ней, — при школе полагалась квартира учителю. Груздева взяло сомнение, не завернуть ли к сыну, но он поборол это желание, вздохнул и пошел дальше. Господский

дом был летом подновлен и в нем жил сейчас новый управитель «из поляков». Мурмосские заводы за долги ушли с молотка и достались какой-то безыменной кампании, которая приобрела их в рассрочку на тридцать девять лет и сейчас же заложила в земельный банк. Для видимости фабрики ремонтировали, и доменные печи пущены в действие. Даже на медном руднике дымилась паровая машина. Груздев еще раз вздохнул, — он в тонкости понимал крупную мошенническую аферу и то безвыходное положение, в каком находился один из лучших уральских горнозаводских округов.

Минуя заводскую контору, Груздев по заводской плотине направился в Кержацкий конец. У домны он остановился, чтобы поздороваться с Слепнем, который отказался узнавать его.

— А Никитич где? — спросил Груздев.

— Во, руководствует под домной, — указал Слепень на фабрику. — Груздева-то я хорошо знавал, только он не такой был.

Вот и Кержацкий конец. Много изб стояло еще заколоченными. Груздев прошел мимо

двора брательников Гущиных, миновал избу Никитича и не без волнения подошел к избушке мастерицы Таисьи. Он постучал в оконце и помолитвовался: «Господи Исусе Христе, помилуй нас!» — «Аминь!» — ответил женский голос из избушки. Груздев больше всего боялся, что не застанет мастерицы дома, и теперь облегченно вздохнул. Выглянув в окошко, Таисья узнала гостя и бросилась навстречу.

— Здравствуй, сестрица, здравствуй, дорогая, — здоровался с ней Груздев.

— Да как это ты надумал-то ко мне зайти, Самойло Евтихыч? Ах, батюшки, неужели ты пешком?

— Будет, сестрица, поездил в свою долю, а теперь пешечком... Получше нас люди бывали да пешком ходили, а нам и бог велел.

Таисья правела гостя в заднюю избу и не знала, куда его усадить и чем угостить. В суете она не забыла послать какую-то девчонку в школу оповестить Нюрочку, — за быстроту в шутку Таисья называла эту слугу телеграммой.

— Вот ужо самоварчик поставлю, родимый

мой, а то, может, водочки хочешь с дороги? — угощала Таисья.

— Ничего не нужно, мастерица: хлебца ржаного кусочек да водицы... Сладко ел, сладко пил, сладко жил, — пора и честь знать.

По разговору и по взгляду Таисья сразу догадалась, что Груздев пришел к ней неспроста. Пока «телеграмма» летала в школу, она успела кое-что выспросить и только качала головой.

— Все порешил, и будет, — рассказывал Груздев и улыбался. — И так-то мне легко сейчас, сестрица, точно я гору с себя снял. Будет... А все хватал, все было мало, — даже вспомнить-то смешно! Так ли я говорю?

— Куда же ты направился сейчас, Самойло Евтихыч?

— А в Заболотье, к матери Енафе.

Таисья опустила глаза и собрала губы оборочкой, а Груздев опять улыбнулся.

— Знаю, знаю, сестрица, что ты подумала: слабый человек мать Енафа... так?.. Знаю... Только я-то почитаю в ней не ее женскую слабость, а скитское иночество. Сам в скитах буду жить... Где сестрица-то Аглаида у тебя?

— Ужо пошлю и за ней, — растерянно ответила Таисья. — Трудно тебе будет, Самойло Евтихыч, с непривычки-то.

— Сперва я на Анбаш думал, к матери Фаине, да раздумал: ближе будет Енафа-то, да и строгая она нынче стала, как инока Кирилла убили.

«Телеграмма» вернулась, а за ней пришла и Нюрочка. Она бросилась на шею к Самойлу Евтихычу, да так и замерла, — очень уж обрадовалась старику, которого давно не видала. Свой, родной человек... Одета она была простенько, в ситцевую кофточку, на плечах простенький платок, волосы зачесаны гладко. Груздев долго гладил эту белокурую головку и прослезился: бог счастье послал Васе за родительские молитвы Анфисы Егоровны. Таисья отвернулась в уголок и тоже плакала.

— Слышал, как вы тут живете, Нюрочка, — говорил Груздев, усаживая сноху рядом с собой. — Дай бог и впереди мир да любовь... А я вот по дороге завернул к вам проститься.

— Как проститься? — удивилась Нюрочка.

— А так... Ухожу в лес, душу свою грешную спасать да чужие грехи замаливать.

Он рассказал то же, что говорил перед этим Таисье, и все смотрел на Нюрочку любящими, кроткими, просветленными глазами. Какая она славная, эта Нюрочка, — еще лучше стала, чем была в девушках. И глаза смотрят так строго-строго — строго и, вместе, любовно, как у мастерицы Таисьи.

— А у нас-то што тут делается, — рассказывала Таисья, чтобы успокоить взволнованных свиданием родственников. — И не разберешь ничего: перепутались концы-то наши... Мочеганка Федорка недавно мужа окрестила и закон с ним приняла у православного попа, мочеган Пашка Горбатый этак же жену Оленку окрестил... То же самое и про Илюшку Рачителя сказывают, — он у вас в Мурмосе торгует, а взял за себя сестру Аглаиды нашей. Другие опять в нашу веру уходят, хоть взять того же старшину Макара: он не по старой вере, а в духовных братьях. Аглаида его и в согласие принимала.

Вечерком завернул к Таисье новый старшина Макар, который пришел вместе с Васей, а потом пришла сестра Аглаида. Много было разговоров о ключевском разоренье, о клю-

чевской нужде, о старых знакомых. Груздев припомнил и мочеганских ходоков, которые искали свою землю в орде.

— А они в комарниках в церкви служат, — объяснил Макар. — Вместе и живут старички... Древние стали, слабые, а все вместе.

На другой день утром в избушке Таисьи еще раз собрались все вместе проводить Самойла Евтихыча. Нюрочка опять плакала, а Груздев ее утешал:

— Не плакать нужно, моя умница, а радоваться, что слеп был человек, всю жизнь слеп, и вдруг прозрел.

По обычаю, присели перед отходом, а потом началось прощанье. Груздев поклонился в ноги обеим «сестрам», и Таисье и Аглаиде.

— Не вам кланяюсь, а вашему женскому страданию, — шептал он умиленно. — Чужие грехи на себе несете...

У ворот избушки Таисьи долго стояла кучка провожавших Самойла Евтихыча, а он шел по дороге в Самосадку, шел и крестился.

ОХОНИНЫ БРОВИ

(Повесть)

Часть I

Глава 1

В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея, — жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. — Нещадно он бил меня шелепами[399]...А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Нов-

шества везде завел, с огнепальною яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

— И долютовал, — отвечал слепец Брехун. — Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится, — угнетенно соглашался Арефа и тяжко вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

— Немощь у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли? — ядовито спрашивал Брехун. — Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немощь у меня к зелену вину, — объяснял дьячок, — а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг

вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет!.. Ну, игумен Моисей и истязал меня многажды...

— И шелепами, и плетями, и батожьем?

— Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромадная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подво-

рья. Одного сена ставили больше двунадесять тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети[400] не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай! — недоверчиво ворчал Брехун. — Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у

него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта[401], когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Дьячок Арефа и слепец Брехун вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

— Бывал я и в степе, — задумчиво говорил дьячок. — С благословения прежнего игумена

Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, — по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надёжа на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину, — домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, — объяснял Брехун, — крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия

только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «заплечная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

— Што, не глянется? — смеялся Брехун. — Это, видно, получше будет ваших монастыр-

ских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катом[402] у него башкир Кильмяк — такая собака, што не приведи бог во сне увидать... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуехтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа, прислушиваясь к заплечной работе. — Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самим грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель кре-

стьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! — откликнулся Арефа, подходя к оконцу. — Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то ме-

сте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомню в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

— Нет... Пономарь-то наш Герасим, помнишь? — он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конешно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, бате», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румя-

ным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно, — ответил Арефа не без гордости. — Дочерью прежде звали...

— Что-то не похожа на тебя, — усомнился Белоус.

— Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа. — Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду по-

сылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». — «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». — «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак»... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, — ну, один кыргыз меня копьем к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, — мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то, — нога у меня насквозь копьем пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою

дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съежил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

Глава 2

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, — где только она набрала таких жалких бабьих слов!

— Родимый ты мой батюшка, застава наша

богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке. — Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, злагоря не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат, — очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня привалывалась к их окну.

— Не застуй[403], девка... — заметил он ей всего один раз. — Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

— Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

— Я не девка, а отецкая дочь, — бойко отвечала Охоня.

— Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленые рыла!.. — кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. — Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь и надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — послышался из подземелья знакомый молодой голос. — Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат. — Что за драка?

— Вот девка увязалась, — жаловался капрал. — Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую

дочь! — кричала Охоня. — Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. — Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он. — А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сидения. Белоус и Аблай были прикованы к

середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, — дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого, — сказал воевода. — Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю, — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: — Раскуйте этого дурака дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел, — заговорил Арефа, стукаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем, — ответил воевода. — Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, — это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню, — трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! — скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук. — А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном

пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сидению в «узилище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной на-

пасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами, — сказал он дочери, — а бысть мне в нощи прещение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя, — говорила Охоня, — а там уж все вместе помолитвуем преподобному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно — новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались

срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни — на полдень, другие — на север, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались посельщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал, — жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. — Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться, — говорила Охоня, занятая одною мыслью. — То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил, — шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось. — На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст[404] до монастыря — не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня, — Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня, — она умела ходить за больными, чему научилась у

матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилище, доченька, — жаловался Арефа. — Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подряснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура, — проговорил очнувшийся Арефа. — Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а вперед — бог. Сподобился и в бане попарить-

ся.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

— Нету его, — уехал домой! — ответила за отца Охоня.

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот ужо оболокусь и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок, — воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода

опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расказнит тебя воевода, — шепнула она отцу. — А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

Глава 3

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, — от него все станет.

— А девка — мак! — проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем, — ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит[405].

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится, — все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Аре-

фе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам-друг, — детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзглая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою

судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...

— Што воротился-то спозаранку? — встретила она мужа.

— Так, — коротко ответил воевода. — Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду, — ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая, — думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. — Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в вое-

водские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот что, несообразный человек, — заговорил воевода, — выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч, — взмолился Арефа, стоя на коленях. — Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья мона-

стырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь, — заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу. — Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь затовариваешь, и с порчеными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с поклепом! — засмеялся воевода. — Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средствие от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью

намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает.

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-сказуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он размолодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кильмяку отправить, — пошутил воевода и ухмыльнулся. — Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю оби-

жать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок, — заметил Арефа, пропустив чарку. — Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорее убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской дубинщины, тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч, наконец, устал. Конечно, и крестьянишки были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворохе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по

своим углам.

— Суди бог игумена, — часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами. — Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже, — он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался

Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

— Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь, — утешал себя воевода.

Глава 4

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

— Пронесло тучу мороком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый, — повторял дьячок вслух и крестился. — Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно

было покрытое багровыми рубцами и незажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

— Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди подвернутся?

— Ничего у нас нет, батя, — соглашалась Охоня. — Поп Мирон вон не боится... А на него грозились, потому как он с собой деньги возит.

— Попа-то Мирона не скоро возьмешь, — смеялся Арефа. — Он сам кого бы не освеже-

вал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

— Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

— Обознались, други милые, — ответил Арефа. — Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромя язв и ран.

— Ах ты, дурень старый! — ругались разбойные люди. — А мы думали, кто другой.

— Ступайте к попу Мирону, у него денег много, — посоветовал ехидно Арефа. — Будет пожива... Пожалуй, вот девку мою возьмите, надоело мне ее кормить.

— Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди расспросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полуект Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива ни мертва, — очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

— Вот дураки-то! — говорил он. — Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю... Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно.

Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

— Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель, — проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленою полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места — скатерть скатертью! И Яровая-то как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои

деревянные избушки Служняя слобода с бревенчатою церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликарпом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

— А ты куда, батя?

— Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое угодное место, и не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел задами, чтобы кто-нибудь на Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и

несколько раз перелезал через прясла огородов, выходивших прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхой деревянною стеною Дивья обитель, — там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что «болярыню» выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а «болярыня» все сидела и сидела: ее забыли там, в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осе-

нью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней она и гряды копала, и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

— Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги. — И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!..

— Тише, баба!.. — окликнул Арефа жену. — Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На Прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним сло-

вом, клад — не баба, если б не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданною дочкою Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребятишки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

— Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь-можешь?

— Ох, и не спрашивай, Арефа Кузьмич! — всплакала дьячиха. — И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней, да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заво-

ды к Гарусову.

— Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна, — проговорил он ласково, жалея жену. — Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставлю, а то горько, што на заводах все двоеданы[406] живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

Запричитала и завыла дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику впору.

— День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы, — сказал Арефа, когда послышались шаги Охони. — Смотри, никому ни гугу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косяка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять сцапает и своим судом

рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтораста верст, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоеданам. Служняя слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безыменной затворницы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов

по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в Сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то

помощь теперь была под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухожья и хмельники — всего было вволю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воин-

скую помощь.

Глава 5

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полуект Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у его из рук валилось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжко вздыхает. А по ночам сна решился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, — ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из Служней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино серд-

це.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

— Ужо расскажу все игумну Моисею! — грозила она мужу. — Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, штобы живых людей изводить?

— Перестань, старая дура! — огрызался воевода. — Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

— А на девок зачем заглядываешься, несытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Невзлюбились такие поносные слова Полуекту Степанычу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

— Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! — вопила воеводша.

— А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! — орал воевода, работая тяжелой нагайкой. — Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки... Не гожее это дело, когда старики дерутся; а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось неизвестным. Наказали плетьми сторожей да солдат, прокараулившихсамого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что неладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увезти воеводу в Прокопьевский монастырь да там и отмолить его от напущенных волхитом поганых чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

— Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в

монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Не гожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

— А игумну Моисею не будешь жалиться?

— Сказала, не буду. Только поедем...

— Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

— Испортил меня проклятый дьячок вконец.

Обыкновенно Полуект Степаныч завертывал к попу Мирону, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

— Што это у вас, никак праздник? — спро-

сила воеводша служку-вратаря.

— Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он стал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже навел своих певчих. Сегодня и служба была особенная... Начал молиться Полуект Степаныч, — и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братия привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся

церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуект Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало. Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

— Грех, грех... — шептал Полуект Степаныч, глотая слезы. — Грешный я человек... душу свою погубил...

Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен: все расскажет ему Полуект Степаныч, до последней ниточки. Пусть игумен епитимью наложит, какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходившее на монастырский двор, он

видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадьей, как вышел из церкви и сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени и поднимается по ступенькам. Дух занялся в груди у воеводы: вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась, вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни одного слова.

— Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь? — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи. — Как ветром дунуло даве из церкви-то: легче пуху вылетел. Эх, Полуект Степаныч, Полуект Степаныч!

Воевода опустил голову и не смел дохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил:

— Зачем против моей воли идешь, Полуект Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?

— Ну, уж про Тимошку-то ты врешь, игумен, — ответил воевода, приходя в себя. — Дьячка я выпустил, мой грех, а Тимошка сам

ушел...

— Тебе же хуже, воевода... У меня бы небойсь не ушли.

Опомнившись, Полуект Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение.

— Бог тебя благословит, Полуект Степаныч...

— Прости, святой отец. Грешен я перед тобой, яко пес смердящий... Но не таю своей вины и приехал покаяться.

— Вот все вы так-то: больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то...

Игуменская келья походила на все другие братские кельи, с тою разницей, что окна у нее были обрешечены железом и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать: игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял киот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту ви-

деть, что делается у него во дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуект Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно.

— Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала? — сурово спросил игумен.

— Она самая, святой отец.

— И тебе не стыдно, воевода? — загремел игумен Моисей, размахивая четками. — Што не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет... Свою честную седину острамил.

Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, препоясанный широким кожаным поясом, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий.

— Мирской человек, отец святой... Согрешил окаянный...

— И своей воеводши Дарьи Никитишны не постыдился?.. Нескверное житие погубил навеки и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в

грехе — себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода...

Недавнее смирение вдруг соскочило с Полуекта Степаныча, когда игумен замахнулся на него своими четками.

— Да ты никак сдурел, игумен? Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь... Какой я тебе козел?

— Ты у меня поговори! Заморю на поклонах... Ползать будешь за мной, Ахав нечестивый.

Это уже окончательно взорвало воеводу.

— Поп, молчи!.. Тебе говорю, молчи! Я свою вину получше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то?.. Попомни-ка, как говяжьею костью попадью свою уходил, когда еще белым попом был? Думаешь, не знаем? Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьянишек своих монастырских изволочил на работе, а я за тебя расхлебывай кашу...

Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил:

— Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес?

Полуект Степаныч сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стукаясь головой о пол, заговорил:

— Прости, святой отец!.. Вконец меня испортил проклятый дьячок... Прости, игумен... Из ума выступил... осатанел...

— Ладно, прощу, коли смирение вынесешь, — ответил игумен, снимая клобук. — А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтобы другие глядели на тебя и казнились... Согласен?

Как ни умолял Полуект Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным.

— Любя наказую твою воеводскую гордость, — решил игумен. — Гордость свою смири...

— Да ведь стыдно будет перед всем народом с метлой-то выходить.

— А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя...

Полуект Степаныч сел на лавку и горько

заплакал. Игумен тоже стишал и молча его наблюдал.

— Не могу ее забыть, — повторял воевода слабым голосом. — И днем и ночью стоит у меня перед глазами как живая... Руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть... Не печалуйся, Полуект Степаныч. Беда избывная... Вот с метелкой-то походишь, так дурь-то соскочит живой рукой. А скверно то, што ты мирволил моим ворогам и супостатам... Все знаю, не отпирайся. Все знаю, как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью. Только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело.

— Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы?

— Чужое место он захватил, вот што... И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Полуект Степаныч... Ох, как еще помянешь-то!.. Жаль мне тебя, миленького.

— К чему ты эту речь гнешь, игумен?.. Невдомек мне как будто...

— А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слыхал, какие слухи пали с Яика?

— Казачишки опять чего-нибудь набунтовали?

— Не казачишками тут дело пахнет, Полуект Степаныч. Получил я опасное письмо, штобы на всякий случай обитель ущитить можно было от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю... А ты сидишь у себя в Усторожье и сном дела не знаешь. До глухого еще вести не дошли.

— Приказу ниоткуда не получал, а мое дело тоже подневольное: по приказам должон поступать. Только мне все невдомек, игумен, каким рожном ты меня пугаешь?

Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил:

— На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоною... По уметам казачишки уже толкуют везде об нем, а тут, гляди, и к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем... Ты вот распустил дубинщину, а те же монастырские мужики и поды-

мутся опять. Вот попомни мое слово...

— А на што рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика... У тебя еще после дубинщины страх остался.

— Я за свой монастырь не опасаюсь: ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже... У него на заводах большая тягота, и народ подымется, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова: радуется он нашим безвременьем. Ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего...

— Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому... Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены[407]. Усторожье позабыли — вот и все мое воеводство. Не сегодня-завтра и с коня долой. Приказные люди в силу входят, и везде немцы проявляются, особливо в воинском нашем деле... Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщине с большой опаской делал. Сам, как сорока, на колу сижу... А што касаемо самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В орду хаживали, и то

не боялись...

— Домашняя-то беда, Полуект Степаныч, всегда больше... Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому.

— Ну, это по писанию, а мы по-своему считаем беды-то.

Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу: щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом.

— Вот последние крохи проедаем, — грустно заметил игумен, угощая воеводу. — Где-то у меня травник остался...

Воевода только вздохнул: горек показался ему теперь этот монастырский травник.

После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный игуменскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно «крин сельный». Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал.

Глава 6

Из церкви воеводша прошла с попадьей Миронихой в Служнюю слободу, в поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гостьи. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота.

— Как живешь-можешь, поп? — спрашивала воеводша. — Отгащивать к тебе приехала... Давно ли ты у нас был в Усторожье, а теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить.

— Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Дарья Никитишна! — плакался поп Мирон. — Чем тебя только и принимать будем: по-крестьянски живем...

— А мне до места, отдохнуть — вот и угощенье. А вечерком ужо с попадьей в Дивью обитель сходим... Давно я игуменью, мать Досифею, не видала.

Поповский дом был не велик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу сначала, а потом заднюю, да наверху светелку. Главное, чтобы зимой было тепло попадье да поповым ребятишкам. Могутный был человек поп Мирон: косая сажень в плечах, а голова, как пивной котел. Прост был и увертлив, если бы не слабость к зелену

вину.

Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкликнула Охоня, — совесть ее ущемила. Из-за нее постригся бывший пономарь Герасим... Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефе, и сама попадья ходила сватать Охоню, да только уперлась Охоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка, живучи у отца, и никакого порядку не хочет знать. Не все ли равно: за кого ни выходить замуж, а надо выходить.

— Видела я ее даве в церкви-то, — задумчиво говорила воеводша, покачивая головой. — Ничего девка, только рожей калмыковата, в кого она у них уродилась такая раскосая?

Тут уже начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой.

— Ишь какое зелье уродилось! — проговорила важная гостья, когда попадья рассказала про дьячихин полон. — То-то оно и заметно...

— А то мудреное дело, матушка Дарья Ни-

китишна, — тараторила попадья, желавшая угодить воеводше, — што отец с матерью не надышатся на свою Охоньку... Другие бы стыдились, што приблудная она, а они радуются. Эвон, легка на помине наша дьячиха!..

На поповский двор действительно прибежала сама дьячиха и так завыла и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех.

— Што стряслось-то, говори толком? — спрашивал он валявшуюся в ногах дьячиху.

— Управы пришла искать на игумена! — вопила дьячиха, стоя на коленях. — К матушке-воеводше пришла... Дьячка моего Арефу сжил со свету игумен, а теперь и дочь отнял... Прямо из церкви уволокли Охонюшку в Дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина — не ведомо!.. Схватилась я, горькая, побежала в Дивью обитель, а меня и близко не пустили к Охоне: игумен не приказал... Ох, горькая я!.. И зачем только на свет родилась?.. Одна только заступа осталась: матушка-воеводша... Слезно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу.

Вышла на крылечко и сама воеводша Да-

рья Никитишна и поманила голосившую дьячиху в избу. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи шепоты. Усадила воеводша дьячиху на лавку и стала выспрашивать, какая беда приключилась.

— Не печалуйся прежде поры-время, — проговорила она, когда дьячиха рассказала все. — Суров игумен Моисей, да сан на нем велик: не нам, грешным, судить его. А твою Охоню я сегодня же повидаю... Мне надо к матери Досифее побывать. Молитвенница наша... Ужо поговорю с ней.

— Матушка-воеводша, заступись! — вопила дьячиха. — На тебя вся надёжа... Извел нас игумен вконец и всю монастырскую братию измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Лютует не по сану... А какая я мужняя жена без мово-то дьячка?.. Измаялась вся на работе, а тут еще Охоню в затвор игумен посадил...

Сжалилась воеводша над горюшей-дьячихой и подарила ей серебряный рубль.

— Ну, будет убиваться, — говорила попадья. — Вот расскажи лучше, как в полоне была в орде.

— Ох, помереть бы мне там, — плакала дьячиха. — У других баб грех-то с крещеными, а мой грех с ордой неумытой... Тьфу! Растерзали было меня совсем кыргызы до смерти. Стыдно и рассказывать-то... Дух от них, как от псов. Наругались они надо мной... Ох, стыдобушка головушке! Тошнехонько и вспоминать-то, матушка-воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь, — свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из орды... Погоня гналась за мной две ночи, а я одвуконь бежала. Конечно, не своею бабьею немощью ослобонилась, а дьячковской молитвой: он умолил угодника Прокопия...

Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась: очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала.

— Ну, теперь ступай домой, — сказала она дьячихе, — а мы с попадьей в Дивью обитель сходим.

Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушке-воеводше, так что поп Мирон едва ее оттащил.

— Загостился мой воевода у игумена, — говорила воеводша, делая удивленное лицо. —

И што бы ему столько времени в монастыре делать? Ну, попадья, пойдем к матери Досифее.

Воеводша пошла пешком, благо до Дивьей обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жира, — толстая была попадья.

— И место у вас только угодливое! — любовалась воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель. — Одна благодать... У нас, в Усторожье, гладко все, а здесь и река, и лес, и горы. Умольное место... Ох-хо-хо! Мужа похороню, так сама постригусь в Дивьей обители, попадья. Будет грешить-то...

— Нет лучше иноческого тихого жития, — соглашалась попадья со вздохом. — Суета мирская одолела да детишки, а то и я давно бы в обитель к матери Досифее ушла... Умольная жисть обительская.

Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз

бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри стен тянулись почерневшие от времени деревянные избы-кельи; деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем «в отишии», осененное сосновым бором. Сестра-вратарь, узнавшая попадью Мирониху, пропустила гостей в обитель с низким поклоном.

— Дома мать Досифея? — спрашивала попадья.

— Дома... Куда ей деться-то? Все здоровьем скудается... Обезножела наша матушка.

Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил «профос» с ружьем, — это и был «затвор» таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась в «неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева».

— Жалятся благоуветливые старицы на Фоину, — шепотом сообщала попадья. — Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игуменье Досифее постоянно

встречные слова говорит, ссорится и супротивничает. Холопками сестер величает...

— Легко ли ей в затворе-то сидеть, голубке? — жалела воеводша, качая головой. — Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие попала... Тоже живой человек.

— Мать Досифея бьется-бьется с ней... Шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание.

— Ох, страсть какая! Статошное ли это дело?

Келья матери игуменьи стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая пятистенная изба со светелкой и деревянным шатровым крылечком. В сенях встретила гостей маленькая послушница в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темноте.

— Ишь как выстрожила матушка сестер, — полюбовалась попадья. — Ходят, как тени.

Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешанными шелковою пеленой; перед киотом «всех скорбящих радости» горела «неуга-

симая» и стоял кожаный аналой. У стены помещены были две укладки с книгами. В церковь игуменья не могла выходить и молилась у себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь, или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой.

— Кто там, крещеный человек? — спрашивал старушечий брюзжащий голос. — Никак ты, попадья?

— Я, многогрешная, матушка... А какую гостью тебе я привела: то-то спасибо попадье скажешь! Радость всей вашей обители.

Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха, с пожелтевшими от старости волосами. Ей было восемьдесят лет, из которых она провела в своей обители шестьдесят. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину и эту старость: казалось, в игуменье не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своею высохшею,

дрожавшею рукой, а воеводша поклонилась ей до земли.

— Трудница ты наша, матушка, побеспокоила я тебя, — извинялась воеводша. — Давно я собиралась к тебе, да все недосужилось...

Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, а сухие побелевшие губы шептали беззвучные слова.

— Игумен Моисей помереть не дает, — заговорила игуменья, усаживаясь на кровати; она теперь походила на привидение. — Обитель рушится... все развалилось... а он одно твердит, што изничтожит нас вконец. Лесу не дает на поправку... теснит... Вот я и не могу помереть: сестер жаль. Куда они без меня-то денутся?.. Три десятка сестер, а кто промыслит про них все?.. Тоже надо и обуть, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель... Соблазн, говорит, монастырю... Вот какие дела, Дарья Никитишна! Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и Дивью обитель подновить, да только бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось да сгнило, скоро и затвориться будет нечем...

— Жалеем мы все тебя, матушка... да што с игумном Моисеем поделаешь? Лютует он на всех...

— Жаль и мне его, — устало проговорила игуменья, опуская глаза. — Воздай ему бог за зло добром, а только жалею я...

Попадья и воеводша переглянулись: игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея.

— А надо бы нам стенки-то подкрепить, — точно бредила игуменья. — Ох, как надо! И ворота вон совсем развалились... Башенки прежде на углах-то стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с башкирью набегал, так крестьяне со всех деревень укрывались в Дивьей обители... Тоже и от Пепени с Тулкучарой... под самые стены набегала орда, и господь ущитил.

— Што же, матушка, опять орда набежит? — спрашивала воеводша.

— Горе будет, миленькие... Тогда и моя смертынька.

Потом игуменья сразу спохватилась:

— Што же это я томлю вас, миленькие?.. Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьяне

и накажи ей... Она знает порядок.

— Мы не за угощеньем пришли, матушка, а тебя проведать, — говорила воеводша. — Чего тебе беспокоиться-то для нас?

Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье:

— Ступай-ка ты сама, попадейка, в келарню... Пожалуй, лучше будет.

Воеводша виновато опустила голову: проникла ее тайную мысль прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами.

— Ну, рассказывай, зачем пришла, — тихо прошептала она. — Вижу, што неспроста... Говори. По лицу вижу, што не с добром пришла. Ох, грехи!..

Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она опять повалилась в ноги прозорливице. Все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее прорвало... Она долго плакала, прежде чем поведала свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала по-прежнему, с закрытыми глазами, и

только сухие губы продолжали шевелиться.

— Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась, — причитала воеводша, — всю душеньку истомило...

— Монастырские служки привели ко мне Охоню, — ответила игуменья. — Игумен прислал за выклики... Ну, я ее в келарню посадила. Девка-то не причинна тут, Дарья Никитишна, а так она... роковая. Как зародилась, так и помрет...

— Охота мне на нее поглядеть, матушка: какая-такая моя лютая беда завелась? На што польстился Полуехт-то Степаныч?

— И глядеть нечего, — сурово ответила игуменья. — Девка как девка... Пытала она убиваться даве: так рекой и разливается. Прибегала к ней матка, дьячиха, да я не пустила. Соблазн один...

Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться.

— Ничего, твоя беда износится, — успокоила ее на прощанье игуменья. — А воеводу твоего игумен утихомирит... Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься

без пути... Мы не выпустим Охоню.

Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась и Охоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела.

— Вон она, Охоня, — ткнула она на дьячковскую дочь. — Ишь какая гладкая!.. Ягода, а не девка...

— Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь, — проговорила воеводша.

Зарделась Охоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать.

— Подойди, не бойся, — проговорила воеводша. — Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть отецкая дочь. Ну, иди же... не упирайся!.. Не из страшливых ты, коли воеводы не испугалась... Ну, што молчишь-то?

— Себя не помнила, — бормотала Охоня, не

поднимая глаз. — Солдаты тогда учали меня срамить, а тут воевода присунулся...

— Так, так... Ну, а в церкви-то отчего выкликала?..

Охоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками.

— Застыдилась девонька, — пожалела ее попадья. — Ну, ин я за тебя скажу, Охоня: совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел...

— Несчастная я уродилась, — шептала Охоня. — Не люб он мне был, когда сватался, а тут... ох, горькое мое горюшко!.. Свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы... дух у меня занялся... умереть бы мне...

Глава 7

Воевода Полуект Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести «послушание» на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафнутий.

— Вставай, Полуект Степаныч... Игумен уж тебя ждет во дворе.

— О господи, господи! — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор. — И до чего я дожил?

— Оболокайся, воевода. Игумен у нас не больно-то любит ждать, а то еще на поклоны поставит.

Нечего делать, пришлось подниматься ни свет ни заря, и старый воевода невольно вспомнил свое Усторожье, где спал вволю и никого не боялся. Келарь принес с собой затрапезный кафтанишко и помог его надеть.

— Ну вот, теперь совсем, — повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде.

— А ты чему обрадовался, долгогривый? — обозлился воевода. — Вот возьму да и не пойду...

— Воеводушка, не кобенься ты ради Христа, — уговаривал испугавшийся келарь. — И тебе и мне достанется...

Приземистый, курносый, рябой и плешивый черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в Служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе «угобжались от вина и елея». Угнетенные игуменом шли за утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилось

ласковое словечко.

— А ежели народ пойдет в церковь да меня увидит в затрапезном-то одеянии? — спрашивал воевода уже в дверях.

— Никто не увидит, воеводушка... будний день сегодня, кому в монастырь идти, окромя своих же монастырских?

— Достаточно и монастырских.

Игумен гулял в саду, когда пришел воевода.

— Вот тебе метелка, — сурово проговорил игумен, показывая на стоявшую в уголке метлу. — Я пойду к заутрене, а ты тут все прибери. Да, смотри, не ленись... У меня из алтаря все будет видно.

Сказал и ушел, а воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом — никого, слава богу, нет. Монахи уже прошли в церковь. И принялся Полуект Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пенье несется, и легко стало у воеводы на душе: что же, привел господь в монастырских служках поработать... Метет Полуект Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся, а это Дарья Никитишна

идет в церковь, идет, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе... Присел он на лавочке и пригорюнился.

— Эй, чего расселся, ленивый раб?

Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря.

Опять работает воевода, даже вспотел с непривычки, а присесть боится. Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку. Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника, — издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца.

— Эге, да это тебя вчера... тово? — обрадовался воевода.

— Видно, меня...

Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом повел он воеводу в оранжерею и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его.

— Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген?

— И в миру не легко... По крайности здесь одному богу послужу, а на миру больше мамоне служат да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки.

Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним.

— Ну, и умаял ты меня, владыка, — ворчал Полуект Степаныч. — Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию... Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то даве гляжу, моя Дарья Никитишна идет. Страм...

— Ты у меня поговори... Не хочешь на хлебе да на воде неделю высидеть? А то и похуже будет: наших монастырских шелепов отведаешь...

Не стерпел обиды Полуект Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю, а игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло-горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь:

— Будешь еще борзость свою показывать

да лаять меня?

— Ох, владыка, прости ты меня, многогрешного! Не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком...

— Не заговаривай зубов: поумней тебя найдутся.

Тяжело достался первый день монастырского послушания усторожскому воеводе, а впереди еще целых шесть дней, — на неделю зарок положен игуменом. Всплакался Полуект Степаныч, а своя воля снята...

Другой день послушания как будто был полегче: в каларне пришлось с братией постные монастырские щи варить да кашу. Все же не на виду у всех и не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе, — тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженая. На четвертый день Полуект Степаныч звонил на колокольне, и это ему больше всего понравилось: никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он и рекой Яровой, и Служнею слободою, и Дивьею обителью и с тоской глядел на дорогу в свое Усторожье. Ох, убраться бы поскорее из монастыря домой... Будет, напринимался всего. Но не

так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воеводе: поставил его вратарем. Тут уж не увернешься: у всех на виду, как глаз во лбу.

«Уж постой, игуменушко, перетерплю я у тебя все, да и ты меня попомнишь! — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим в ворота богомольцам. — Дай только ослобониться».

«Лаять» игумена в глаза Полуект Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок Арефа.

Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие, да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянною чашкою на коленях лысый слепой старик, сидит и наговаривает:

— Попал сокол в воронье гнездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать по-воробьиному, а красной пташке убиваться по нем...

— Ты это што бормочешь-то? — удивился Полуект Степаныч, прислушиваясь.

— Я-то бормочу, а другой послушает... У слепого язык вместо глаз: старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят?

Этими словами слепой старик точно придавил вратаря. Полуект Степаныч узнал его: это был тот самый Брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга. А сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой... По каком ясном соколе убивается красная пташка?.. Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам...

— Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да сижу-посижу, ничего не знаю.

В руке Брехуна звякнули два серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к Служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся Служняя слобода, Яровая, и лес за Яровой, и горы. И

страшно ему и радостно... Проводив глазами слепца, Полуект Степаныч припомнил обещания дьячка Арефы относительно приворота. Вот оно когда сказалось! Захолонуло на душе у воеводы: погибал он окончательно... Теперь прощай и воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и нескверное воеводское житие. Красные круги заходили в глазах у Полуекта Степаныча.

К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала монастырская братия, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу, сбегали в Служнюю слободу к попу Мирону, — воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену? Братия перекорялась, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один новый ставленник Гермоген.

— Я пойду объявлюсь, братие, — говорил он со смирением.

— Захотел на конюшню, видно, попасть, брат Гермоген? Не знаешь ты игумна, каков он под сердитую руку...

— А уж што бог даст, — повторял Гермоген.

Братию вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всенощной из Дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случалось это с ним, когда он в Служней слободе у попа Мирона «ослабевал» дня на три, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступила его монашеская братия и немало дивилась случившейся оказии.

— Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?

— Не знаю, — хмуро отвечал келарь. — После вечерни зашел проведать игуменью Досифею, ну, и снял рясу и клобук: зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой, — нет моей ряски и клобука. Уж искали-искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли.

Благоуветливые иноки только качали головами и в свою очередь рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывайся игумену: разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братию, да и

обительских сестер тоже. Тужат монахи, а у святых ворот слепой Брехун ведет переговоры со служкой-вратарем.

— Вот, служка, нашел я находку, — говорил Брехун, подавая монашескую рясу и клобук. — Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братию, кабы натакался на нее мирской человек, — ну, а я-то, пожалуй, и помолчу...

— Да как ты нашел, когда ты и видеть не можешь?

— Видеть не вижу, а глаз все-таки есть, — посмеялся Брехун, показывая свой черемуховый посошок. — Я-то иду, а глаз впереди меня...

Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес находку в кельи, а там келарь Пафнутий о своем клобуке чуть не плачет. Сразу узнал он свое одеяние. Кинулись монахи к воротам, а от Брехуна и след простыл.

— Наваждение! — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук. — Кому понадобилось?.. А горше всего, ежели игумен Моисей вызнает... Острамился келарь на старости

лет: скажут, в Дивьей обители клобук потерял!

Пока благоуветливые иноки судили да рядили, в Дивьей обители шла жестокая переборка. Этакого сраму не видно было, как поставлены обительские стены... Особенно растужилась игуменья Досифея и даже прослезилась: живьем теперь съест Дивью обитель игумен Моисей.

— Не без того это дело вышло, матушка, што нечистая сила объявилась в обители, — объясняла сестра-келарша Маремьяна. — Попущение божецкое на святую обитель...

Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, как своими глазами видела выходившего в обительские врата келаря Пафнутия, — два раза он выходил и в первый раз ушел в рясе и в клобуке.

— Дьявольское прещение бысть, — объясняла келарша. — Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игуменьи в опочивальне.

Когда первая суматоха прошла, хватились Охони, которой и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук

черного попа Пафнутия: проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась монахом, да и вышла из обители, благо темно было.

Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуект Степаныч и как ночью слепец Брехун принес монашеское одеяние черного попа Пафнутия.

— Девки-поганки дело, — решила и мать игуменья. — Не инако могло быть, как через нее. Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха... То-то, кыргызское отродье, посмеялась над святою обителью. Сорому не износить теперь...

А слепец Брехун ходил со своим «глазом» по Служней слободе как ни в чем не бывало. Утром он сидел у монастыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего.

— Где Охоня? — повторял Белоус, схватив Брехуна за горло. — Ты все знаешь. Сказывай!..

— Где ей быть, окромя Усторожья?.. Вместе с воеводой Полуектом Степанычем бежала. Пали слухи, что Полуект-то Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала воеводша домой, выгнал воеводшу-то. Осатанел старик вконец.

Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый.

— Охоня, што ты меня не подождала? — выкрикивал Белоус и грозил кулаком в сторону Усторожья. — Эх, Охоня, Охоня!.. А с воеводой я еще переведаюсь. Будет помнить Белоуса... Да и Прокопьевским монастырем трахнем!.. Эх, Охонюшка!

Слушал Брехун эти причитанья и радовался: связала бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь беломестный казак — вольная птица. Пронесло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красы, а утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Охоней? Кто научил глупую девку,

как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец Брехун... Сказал бы спасибо ему Белоус, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Охоню. Ну, семь бед — один ответ, а беломестный казак Белоус цел останется.

Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и возревновал, яко скимен. Досталось больше всех келарю Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из Усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду.

— Видеть меня не хочет Полуект Степаныч... Со свету сживает: обошла его вконец девка-поганка. Как чирей, теперь сидит и пухнет в моем дому... Ох, горюшко, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть.

— Прокляну я воеводу — вот тебе и весь мой сказ.

— Да ведь не своею волей грешит-то мой Полуект Степаныч, а напущено на него проклятым дьячком. Сам мне каялся, когда я вез-

ла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи, может, и отмолю моего сердечного друга. Связал его сатана по рукам и ногам.

Часть II

Глава 8

Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским «копаням» и плавили ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арендовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты[408], у Гарусова очутился громадный заводский участок на полном праве собственности: устроили это дело ему в Тобольске его

дружки-приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье.

Подъезжая к заводу, Арефа испытывал неприятное чувство: все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменистая заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко назади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы.

— Помяни, господи, игумна Моисея и воздай ему сторицей добром за зло! — вслух молился Арефа. — По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить.

Не доезжая верст десяти до завода, Арефа догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мужицки: в зипуне, в сибирских котах и в высокой шляпе, только сидел на седле не по-мужицки.

— Мир дорогой, добрый человек, — поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. — Куда бог несет?

— По одной дороге едем, так увидишь.

Лицо у вершника было обветрелое, со сле-

дами зимнего озноба на щеках и на носу, темные волосы по-раскольничьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза: серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба.

— Откуда путь держишь? — полюбопытствовал вершник в свою очередь.

— А к двоеданам... Значит, к Гарусову на завод. Меня воевода Полуект Степаныч послал из Усторожья, штобы ущититься у Гарусова от игумна Моисея... Сам-то я из Служней слободы буду.

— Променял кукушку на ястреба! — засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку. — Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет...

— Пали и до нас слухи о Гарусове, это точно... Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего: едва ноги уплел из узилища...

— Хорош и ты... Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую-то пыль. У него это живой рукой...

Обрадовался Арефа живому человеку и

разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютом характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сидении в Усторожье.

— А мне глянется игумен-то, — ответил вершник, — крепкий человек, хоша бы и не монахом быть... Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашеская честная братия тоже, а Моисей и взнуздал. Он правильно, Моисей-то...

— Тебя бы ему отдать в правило, так не то бы запел. От одних шелепов глаза бы повылезли.

— А Гарусов еще полютей будет... Народ в земляной работе заморил, а чуть неустойка — без милости казнит. И везде сам поспевает и все видит... А работа заводская тяжелая: все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, што поехал к двоеданам.

— Двум смертям не бывать, одной — не миновать, — храбрился Арефа. — Не боюсь я твоего Гарусова, хоша он на мелкие части меня режь... В орде бывал и из полону цел ушел, а от Гарусова и подавно.

— Не захваливайся, дьячок!

Показался засевший в горах Баламутский завод. Строение было почти все новое. Издали блеснул заводский пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь: много свел Гарусов настоящего кондового леса на свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх, невеселое место: горы, лес, дым, и сама Яровая бурлит здесь посердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор.

— Молодец Гарусов! — похвалил вершник, любуясь заводом. — Вон какое обзаведенье поставил: любо-дорого... Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит... Эвон, за горой-то, влево, медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда. Сподобишься и ты поробить на Гарусова.

— Ах, штоб тебе пусто было вместе и с Гарусовым!.. Не боюсь я никого, окромя игумна Моисея...

У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова.

Арефа отыскал постоялый, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу: кто, откуда, зачем? У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам... Арефа, как глянул, так и обомлел: это был ехавший с ним вершник.

— Што, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов? — засмеялся сам и махнул рукой приставам: — Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, штобы поменьше каркала.

Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли с господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Прокопию: попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал... Заводские пристава были почище монастырских служек: руки как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и при-

творили тяжелою железною дверью. Новое помещение было куда похуже усторожского воеводского узилища.

— А как же дьячиха? — вопил Арефа, царапаясь в железную дверь. — Эй, вы... дьячиха-то моя как?

Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и «плакаша горько».

Когда он огляделся, то заметил в одной стене черневшее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука. Только издали доносился грохот работавшей фабрики, стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он и заснул в слезах, как малый ребенок.

Ранним утром на другой день его разбудили.

— Эй ты, ворона, поднимайся... Айда в контору!

Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные

рабочие и ставились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефа встал в толпе других рабочих, оглядывавших его, как новичка. Народ заводский был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей.

— Тарас Григорьич, ослобони... — повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой. — Изнеможили мы у тебя на твоей заводской работе.

— А уговор забыл? — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу. — Задатки любите брать, а?.. Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?

— Последняя лошаденка пала, — не унимался мужик. — Какой я тебе теперь работный человек?.. На твоей работе последнего живота решился... А дома ребятенки мал мала меньше остались.

Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы и даже глаза налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то, что свои

заводские: вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для острастки в другой раз и наказал бы, как теперь, да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце.

— Ну-ка, ты, кутья, иди сюда... На какую ты работу поступить хочешь? В монастыре-то вас сладко кормят, спите вволю, а у меня, поди, не поглянется. Што делать: то умеешь, чертова кукла?

— А все умею, — без запинки ответил Арефа. — И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек нарублю...

— Да ты повернись, монастырская ворона... Дай поглядеть на тебя с разных сторон. Нечего сказать, хорош гусь!

Дьячок повернулся при общем смехе и не понимал, для чего это нужно.

— Хлеб есть даром — вот и всей твоей работы, — решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику: — Сведи его на фабрику до поставь, где потеплее. Пусть разомнется для первого раза...

Все переглянулись. Куда этакому цыплен-

ку в огненную работу? На верную смерть посылал Гарусов ледащего дьячка.

— А насчет харчей как? — спрашивал Арефа. — Со вчерашнего дни маковой росинки не бывало во рту... Окромя того, у меня кобыла. Последний живот со двора...

— Ты у меня поговори!..

Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрещину, так что у бедняги в ушах зазвенело. Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Домна Степановна не раз даже колачивала его, и пребольно колачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она поделывает без него, милсердечный друг?

Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю.

— Вот какого орла зацепил, — объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника. — На подтопку годится.

Надзиратель, суровый старик с окладистою седою бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. Куда эта-

кую птицу упоместить?.. Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить.

— Будет тепло, — решил надзиратель.

Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена Яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменных печи, в которых плавили железную руду. Средину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листокатальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводский караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей, в которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно.

— Вот тут будешь работать, — сказал надзиратель, передавая Арефу уставщику. — Смотри, не ленись.

Работа в кричной показалась Арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук два-

дцати тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и Арефа был гораздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе.

— Ну, поворачивай, дьячок! — покрикивал на нового рабочего мастер.

Арефа старался, обливаясь потом. После второй «садки» у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.

«Ох, смертынька моя приходит, — подумал Арефа с унынием. — Погинула напрасно православная душа...»

Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы.

Уставщик тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу: чтоб и ковали скоро и чтоб изъяну не было. Налетит сам — всем достанется.

Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали, — всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какою-то одной мыслью, носившеюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа.

Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму. Но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу: это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и Служнюю слободу, и свой домишко, и всю

дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливал слезами. Он тут бы и ночевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала Арефу новая неприятность: рабочие уже поужинали и полегли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул.

— Ты это где пропадал? — накинулся на Арефу пристав. — Порядков не знаешь... Смотри у меня: всю душу вытрясу.

— А ты не больно аркайся! — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя. — Я слободской человек, иду, куда хочу... Над своими изневаживайтесь.

За такие поносные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было и темно и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням, и тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой, крещеный народ. Только не было ни одной души

из своей Служней слободы.

— Поснедать бы... — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте.

— Видно, уже завтра поешь, мил человек, — ответил голос из темноты.

Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. Что же, сам виноват, а будет день — будет и хлеб. От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. Умереть бы поскорее... Все равно один конец. Кругом было тихо. Все намаялись на день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота.

— Объявился наш батюшка... Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьим уметам на Яике царская воля прошла... Набегали башкиришки и сказывали.

— Давно об этом молва-то идет... Пора. Заницал народ вконец, хоть одинова надо дыхнуть, а батюшка на выручку хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маету и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку уже делали на Яик, да ни с чем выворотилась засыл-

ка: повременить казаки наказывали.

Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон:

— А как же, сказывают, батюшка-то двоеданским крестом молится? Што-нибудь да не так. Нам, хрестьянам, это, пожалуй, и не рука.

Глава 9

Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о «засылке» своих рабочих к казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту «засылку» свои же заводские рабочие, а не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими? Это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов, и, как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что на-

деялись — один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот Баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться, а поднимутся свои же работники и приколют. Работа тяжелая, народ непривычный — только ждут случая.

Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задние комнаты, а Гарусов четыре остальные, то есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских писчика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смел дохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи баранов. Как говорила стоустая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое ме-

стечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход, благо в чугуне и железе везде была нужда, а тут руды сколько хочешь, лесу тоже, воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов медную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали «расейские» выходцы, бежавшие с Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни, а во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось

усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотом-воеводой, с которым у Гарусова были свои дела.

Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил самым жестоким образом: батожья, кнут, застенок — все шло в ход.

Слухи о занимавшейся смуте на Яике подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха: народ дикий, рад случаю... Всю ночь он промучился и поднялся на ноги чем свет. Приказчик уже ждал в конторе.

— Ну, что нового? — спросил Гарусов.

— Нового, слава богу, ничего нет, Тарас Григорьич... Стороной я кое-што вызнал. А между прочим, пустяки болтают разные бродяги... Не надо им давать веры...

— Ну, это уж я знаю... А бродягам я покажу...

Приказчик сразу увидел, что Гарусов сту-

пил левой ногой, и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся несколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужицкий лад, в одной рубахе и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтан, а зимой в простой полушубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довезти даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея-заводчика и все-таки попадались впросак, а Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и наводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может зараз в нескольких местах объявляться.

Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился сначала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним, — очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз

встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда завидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, — условленный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в этот момент, и сторож обомлел.

— В подвал! — коротко сказал Гарусов. — Там ему покажут, как надо палками-то размахивать!

Повторять приказание было не нужно, и сторож моментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. Ах, никому нельзя верить: все продадут ни за грош, продадут да еще ногой придавят. Черною тучею прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему: работа шла на отличку, точно назло. Завидев работавшего у горна

Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово:

— В медную гору...

Арефа даже побелел весь, когда услыхал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины.

— Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просвиры, — проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дьячку.

Арефа что-то хотел сказать в свое оправдание, хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные «поручни» и «поножни» и заклепаны. Так отправляли всех в медную гору... Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за «шпына», то есть за подосланного игуменом Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена — за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, несомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорились рабочими, его же двоеданами, и завинил

дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце.

Повезли Арефу в медный рудник, нимало не медля, под строгим надзором, как разбойника. Старик сидел в телеге и громко молился «иже о Христе юродивому Прокопию», спасавшему его от стольких бед.

— Не от себя лютует Тарас Григорьич, а по дьявольскому наущению, как и игумен Моисей, — выкрикивал Арефа. — Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление... Воздай им, господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный.

— Закаркала ворона, — ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники.

И здоровенные эти двоеданы, а руки — как железные. Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит-помолчит и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановят лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводский народ... Положат потом Арефу замертво на телегу и сами же начнут жаловаться:

— Замаялись мы с тобой, воронье пугало!..

Из сил выбились... Замолчи, окаянный!

— По слепоте вашей приемлю раны...

— Ты опять разговаривать, шпын?

Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок, — такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт пластом и долго жаловались смотрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накинул на себя черную немочь и только глазами моргает.

Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в «отбочине», на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел родную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в «орду». Рудничное строение облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег Яровой был завален пустою породой, которую добывали из шахт, — свежедобытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно: все в шахте. А наверху копошились одни

откатчики да отвальщики. И казармы здесь были устроены по-тюремному — из толстых бревен, с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока «оклемается». Видал он таких представленных...

Опять Арефа очутился в узилище, — это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея, потом сидел в Усторожье у воеводы Полуекта Степаныча, потом на Баламутском заводе, а теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно... Любя господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно дорогой двоеданы проклятые колотили: места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет.

— Ты это о чем, человече? — послышался голос из темноты.

Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть.

— Кто жив человек? — спросил он, обрадо-

вавшись в следующий момент живому человечьему голосу.

— А ты кто?

— Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался?

В ответ грянула тяжелая железная цепь и послышался стон. Арефа понял все и ощупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ощупал больного и только покачал головой: в чем душа держится. Левая рука вывернута в плече, правая нога плеть плетью, а спина, как решето.

— Из бегунов я, — тяжело шептал несчастный. — Три раза из рудника убегал, ну, и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли...

— Плохо твое дело, милаш! — жалел дьячок, потряхивая своими железами. — Кабы сила-мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травки от убоя, от раны, ото всякой лихой болести... Да вот под руками ничего нет.

— Тошнехонько мне... под сердце подкатывает... Прибрал бы господь-батюшка поскорее, а то моченьки не стало... Я из слободских, из Черного Яру... женишка осталась, ребятенки... вся худоба... к ним урваться хотел, а меня в горах и пымали...

— Не из двоедан, значит? — обрадовался Арефа.

— Православный... От дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к Гарусову и попал. Все одно помирать: в медной горе али здесь на цепи... Живым и ты не уйдешь. В горе-то к тачке на цепь прикуют... Может, ты счастливее меня будешь... вырвешься как ни на есть отседова... так в Черном Яру повидай мою-то женишку... скажи ей поклончик... а ребятенки... ну, на миру сиротами вырастут: сирота растет — миру работник.

— Как тебя звать-то, милаш?

— Трофимом... В Черном Яру скажут...

Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытьем. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену... Арефу даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника,

помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновенье приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова.

— Погоди, отольются медведю коровьи слезы!.. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда из степи подвалит, по камушку все заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам и заводчина пристанет и наши крестьяне... Огонь... дым...

Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стишал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств...

— Помяни, господи, новопреставленного раба твоего Трофима, — молился Арефа, стоя на коленях... — Прости ему вольные и невольные прегрешения, вся, яже содеял ведением и неведением, яже словом, яже помышлением.

Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника, в мире раба божьего Трофима, а потом громко наизусть принялся читать заупокойный канон

о единоумершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что по-печатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона, и от покойного игумена Поликарпа.

Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в медную гору, в наряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию: точно сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живою добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и взыграло дьячковское сердце: жив господь, и жив дьячок Арефа. По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вылезти.

— Трофим приказал долго жить, братцы, — сказал Арефа. — Под утро кончился, сердяга...

Рудниковые молча сняли шапки и молча

перекрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка.

— Да ты откелева взялся-то, мил человек?

— А я из монастырской слободы, яже в Сибирстей стране, у Прокопьевского монастыря... По злобе игумна Моисея...

Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его... Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной лиственничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при этом... С дьячка катился пот градом, когда он проработал первую смену.

Глава 10

Работа в медной горе считалась самою трудной, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, и здесь донимали большими уроками немилосердные пристава и уставщи-

ки, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться.

— Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтари. — Последнее наше дело. Живым отсюда не выпущают.

— Вы-то не уйдете, а я уйду.

— Не захваливайся.

— Из орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду... Главная причина, кто сильнее: преподобный Прокопий али Гарусов? Вот то-то вы, глупые... Над кем изневаживается Гарусом-то?.. Над своими же двоеданами, потому как они омрачены... А преподобный Прокопий вызволит и от Гарусова.

Вообще дьячок говорил многое «неудобьсказуемое», и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов вызнает про его поносные речи. А дьячок и в ус себе не дует: копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает.

— Я вольный человек, — говорил он рабочим, — а вас всех Гарусов озадачил... Кого одежей, кого харчами, кого скотиной, а я весь

тут. Не по задатку пришел, а своей полной волей. А чуть што, сейчас пойду в судную избу и скажу: Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалят и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам: не бей смертным боем.

«Озадаченные» Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. Правильно говорил дьячок Арефа, хотя и не миновать ему гарусовских плетей. Со всех сторон тут были люди: и мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгородка, и слобожане, и пашенные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разная татарва. Гарусов не разбирал, кто откуда, а только копали бы руду. И всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица, монастырский дьячок составлял единственное исключение.

Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через две недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанной кудрявым почерком.

— Узнаешь, вольный человек? — глухо

спросил приказчик и засмеялся.

Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю тобольской консистории, когда ему выдавали ставленническую грамоту. Долгу было двадцать рублей, и Арефа заплатил уже его два раза — один раз через своего монастырского казначея, а в другой присылал деньги «с оказией». Дело было давнишнее, и он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных.

— Ну, что скажешь, вольный человек? — смеялся приказчик. — Похваляться умеешь, а у самого хвост завяз... Так-то? Да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы... понимаешь?..

Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове: и его «озадачил» Гарусов... А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел... Вот тебе и вольный человек! Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать...

— Искать буду с Гарусова, — смело заявил он. — Я письменный человек и дорогу найду... У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия, и воеводу Полуехта Степаныча знаю... да.

— И везде тебе скажут, что ты дурак...

— Я дурак?.. Дурак да про себя, а на Гарусова я имею извет. Попомнит он у меня единоумершего хрестьянина Трофима из Черного Яру, вот как попомнит!..

На такие слова приказчик сейчас же «ощерился» и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запереть его в деревянные «смыги» накосо: левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левой рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное: ни встать, ни сесть, ни лежать. Два дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе.

— Тебе же хуже, — посмеялся приказчик. — Теперь тебе наши деревянные смыги

не поглянулись, ну, переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погодим малое время...

Две недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в плечи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль. А главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь: железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота одолевает, а открыл глаза — голова с плеч катится. Стал совсем изнемогать Арефа, и стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а черноярский мужик Трофим, и что он уж мертв, а мучится за свои грехи одна плоть.

Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по две ночи. Тут уж смилостивился и приказчик и велел расковать дьячка.

— К Трофиму еще успеем тебя отправить, коли соскучился, — пригрозил он ему.

В казарме вылежал Арефа две недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает: за свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. Нет, теперь, брат, шабаш: про себя лучше знать... Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места дикие, не скоро поймают... Эх, кабы еще кобылу добыть, так и того бы лучше. А там и своя Служняя слобода, и дьячиха Домна Степановна, и милая дочь Охонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище.

Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уже совсем решился на бегство, но ему помешал случай: с Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать. Всех рудниковых выстроили на дворе, и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плетьми, а остальных нещадно били батожьем. Это было похуже, чем расправа «с пристрастием» у

самого воеводы Полуекта Степаныча. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму. Со страху Арефа не спал целую ночь, и ему все казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли совсем, он даже глаза закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя.

Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уже все готово: смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе.

— Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим, — объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан. — Гинуть, так всем зараз, а то еще продашь...

— Братцы, куда же я? — взмолился Арефа. — Игумен Моисей истязал меня шелепами, воевода Полуехт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул... А сколько я натерпелся от приставов?.. В чем душа... Вы-то убежите, а меня поймают...

Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел

в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка?.. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам... Слухи шли давно, еще во время монастырской дубинщины, и Арефа плохо им верил. Так темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом Полуект Степаныч их усмирял воинскою силою, — ну, и теперь в этом же роде, надо полагать.

Это было на другой день после успенья. Еще с вечера слобожанин Аверкий шепнул Арефе:

— Смотри, завтра у нас вода побежит... Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится: думает, испугал всех наказанием. Понял?..

Арефа молчал. Будь что будет, а чему быть, того не миновать... Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. От мира не уйдешь, а на людях и

смерть красна.

По уговору двое рабочих перед вечернею сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело, набежали пристава, а в это время шахтари обрубили канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту, на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу.

Погоня схватилась позже, когда беглецы были уже далеко. Сначала подумали, что оборвался канат и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам.

В смене было двенадцать человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками по трое, чтобы запутать следы. За ночь нужно пройти верст двадцать. Арефа пристал к слобожанам — им всем была одна дорога вниз по Яровой.

— Меня бы только до монастыря господь донес, — мечтал Арефа. — А там укроюсь где ни на есть... Да што тут говорить: прямо к игумну Моисею приду... Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома... Игумен-то с Гарусовым на перекосых и меня не выдаст. Шелепов отведать придется, это уж верно, — ну, да бог с ним.

Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода: их тут будут караулить... Да и дорога-то одна к Усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли, главным образом, по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные, тропы шли угорами да раменьем, того гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст в пятьдесят. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее.

— Пронес господь тучу мороком...

Один дьячок закручинился. Присел на пенек и сидит.

— Эй, дьячок, будет сидеть... Пойдем. Аль стосковался по Гарусове?

— А я ворочусь на завод, братцы, — отве-

тил Арефа.

— Да ты в уме ли?

— А кобыла? Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело — как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком...

— Ах, дурья голова... Ведь кожу с тебя сымет Гарусов теперь, как попадешься к нему в лапы... А ему кобыла далась...

— А преподобный Прокопий на што?

Бродяги обругали полоумного дьячка и пошли своею дорогой. Отдохнул Арефа, помолился и побрел обратно к заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени нечего взять. Разве где саранку выкопаешь да медвежью дудку пососешь... Затощал дьячок вконец, чувствует, что из последних сил выбивается. Пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темноте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут под са-

мый вечер, глядит он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит: везут связанными его слобожан. Попались где-то сердяги... Перекрестился дьячок: ухранил преподобный Прокопий. Скоро провезли слобожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится, — должно полагать, стреляный. А пристава везут и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дьячку.

Темною ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания: всякому было до себя.

— Орда валит!.. Казаки идут... — слышалось со всех сторон. — А наш-то орел схоронился...

— Догадлив, пес!

Работы были остановлены, и народ бродил по улицам как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было

не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскою рукой, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал, и это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас объявились. Открытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток.

— Пусть сам Гарусов строит! — галдела толпа. — Небойсь удрал!

Более благоразумные люди говорили, что вся эта кутерьма только один подвох со стороны Гарусова, а потом он налетит и произведет жестокую расправу с ослушниками и своевольцами. Старик любил выкидывать штуки... Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная, при освещении костров.

Арефа отлично воспользовался общею су-

матохою и прокрался на господскую конюшню, где и разыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы, и его остановили.

— Куда черт понес?

— А по своему делу...

— Братцы, да ведь это дьячок с рудника! Держи его, оборотня!

Поднялся гвалт, десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское словечко, и кобыла взвилась на дыбы. Она с удивительной легкостью перепрыгнула ров и понеслась стрелой по дороге в Усторожье.

— Держи дьячка!.. Братцы, держи!..

Вдогонку грянуло несколько выстрелов, но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади.

Глава 11

Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Ко-

нечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия: он вызволил грешную дьячковую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется, и даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе и что Гарусов бежал. В Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали и большею частью напрасно. Так, бегают, суетятся, галдят, друг дружку пугают, а беду дымом разносит.

— Нет, Гарусом-то какого стрекача задал! — говорил Арефа своей кобыле. — Жив смерти, видно, боится... Это его преподобный Прокопий устигнул: не лютуй, не пей чужую кровь, не озорничай. Нет, брат, мирская-то слеза велика...

Отъехав верст двадцать, Арефа свернул в лесок покормить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет, и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла около него ходит да травку пощипывает. «Хорошо бы огонек разложить, да страшно: как раз кто-нибудь наедет на дым, и повернут раба божия обратно в Баламутский завод. Нет, уж достаточно натерпелся за свою простоту».

— Эх, перекусить бы малую толику! — вслух думал Арефа. — Затощал вконец... Ну, да потерплю, а там дьячиха Домна Степановна откормит. Хорошо она заказные блины печет... Ну и редьки с квасом похлебать тоже отлично. Своя редька-то... А то рыбка найдется солененькая: карасики, максунинка... Да еще капустки пластовой прибавить, да кашки пшенной на молочке, да взварцу из черемухи, да вишенки...

От этих суетных мыслей у Арефы окончательно подвело живот. Лучше уж не думать, не тревожить себя напрасно.

Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сучок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо спит, а другое слушает.

«Башкирятин кобылу скрасть хочет», — подумал Арефа и успокоился: не таковская кобыла, чтобы чужого человека подпустить.

И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро

возьмешь... А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дьячка, спрятавшись за деревом.

— Ну, чего ты воззрился-то? — окликнул его Арефа. — Добрый человек, так милости просим на стан, а худой, так проходи мимо... У меня разговор короткий...

В сущности, Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости: ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шляпенке.

— Вот што, мил человек, — заговорил он, подсаживаясь к Арефе, — едешь ты на кобыле один, а нам по пути...

— Н-нн-но?

— Верно тебе говорю... Я от Гарусова с заводу бежал. Погони боюсь.

Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется... Но главное внимание Арефы обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозваного бегуна, и дьячок даже понюхал

воздух.

— Знаешь сказку, мил человек, — заговорил Арефа, — поедешь налево — сам сыт, конь голоден, поедешь направо — конь сыт, сам голоден.

Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился: господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад.

— Какой ты добрый на чужое-то, — засмеялся мужик. — Тоже, видно, от Гарусова бежишь?

— Ну, мы с Гарусовым-то душа в душу жили, — отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки. — У нас все пополам было: моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, мои руки — его руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен вот как... И какой добрый: душу оставил.

Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают: от прежнего зверя один хвост остался. Гарусов в свою очередь тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до мона-

стыря, а потом в благодарность и выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет.

— Утро вечера мудренее, мил человек, — говорил Арефа. — Ужо кобыла отдохнет, на брезгу и поедем.

Ночью, однако, никому не спалось. Они караулили друг друга, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа, наконец, поднялся и поймал кобылу. Когда они сели верхом, дьячок проговорил:

— Бит небитого везет.

— А ты как знаешь?

— Рожа у тебя толстая... Закормил, видно, Гарусом-то с осени. Вишь, как нащечился!

— А тебя Гарусом-то, видно, мало еще бил. Вон как язык болтается!

Так они и поехали вместе, как лучшие друзья, и только кряхтела одна кобыла. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умилении думал о том, как господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть сейчас, стоит захотеть, и Га-

русов пойдет пешком... Дорогой от нечего делать они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услыхал, что проявился в казаках не прост человек, прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра III. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам тоже верить нельзя — эти продадут. Арефа только качал своею маленькою головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной.

Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу.

— Только бы до монастыря добраться, — повторял Арефа, укладываясь спать. — Игу-

мен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалеет. Он простоват, игумен-то...

— Ах ты, шиликун! — смеялся Гарусов. — Прост игумен?..

— С Гарусовым два сапога — пара... И любят друг дружку, водой не разольешь.

Друзья крепко спали, когда пришла нежданная беда. Арефа проснулся первым, хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный «кляп», так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели: на нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в «орду».

«Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести.

Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. Ох, что-то будет?.. Всех конников было человек двадцать, и все везли

в тороках награбленное по русским деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У орды уж такой обычай: мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут.

Так они ехали два дня и всего один раз пленникам дали напиться воды. Особенно страдал Гарусов. Лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко назади. За пленниками усиленно следили, чтоб они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на третий день к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу.

На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в орде и по казачьим станицам. Не

было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к коновязям, обыскали и стали добывать языка: кто? откуда? и т. д. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общее подозрение.

— Повесить их! — кричали голоса. — Они нас подведут при случае!

— Повесить успеем всегда, — спорил кто-то, — а надо из них правды добыть... На угольках поджарить али водой холодной полить: развяжут язык-то скорее.

К счастью Арефы, его опознал какой-то оборванец, бывший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за сто человек. «Орда» давно бы передушила их всех, да не давали в обиду свои казаки, которые часто вздорили с «ордой». От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федорыче говорили везде, и все бежали к нему: сила у него несметная и всем жалует

волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорыч очень уж мирволил двоеданам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки сыспокон веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Яике. Одних беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорыч объявился в казаках... Как будто оно и не совсем похоже.

Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов — все вынес. И на огне его припекали, и студеною ключевою водой поливали, и конским арканом пытали душить. Совсем зайдется, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумаки и издевательства.

— Ты заодно с ним, дьячок?.. Вместе на кобыле-то ехали...

— Неизвестный мне человек, — уверял Арефа. — Мало ли шляется по нонешним временам беспризорного народу. С заводов, грит,

бежал.

— Смотри, дьячок, худо будет.

Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки хоть и считались по старой вере, а ели конину вместе с «ордой», потому что привыкли в походах ко всему. Арефа хоть и морщился, а тоже ел, утешая себя тем, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст». Гарусов даже плюнул на него, когда увидел.

— Ужо вот я скажу игумну-то Моисею, — пригрозил он. — Он из тебя всю душу вытрясет.

— А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал, — ответил Арефа. — Ворочусь в монастырь и сам замолю свои грехи.

На стойбище простояли близко двух недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной «ордой». Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и «орда» тоже снимается в поход. Сборы были короткие: заседлали коней, связали в торока разный скарб — и все тут.

Пленных повели пешком, одною кучею, под прикрытием пяти джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая «орда» не знала пощады и заколачивала нагайками насмерть. Кормили тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной медицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой «орды», слезно плакал и, наконец, добился своего.

— Ну, потом съедим твою кобылу, — в виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы.

— А как я без кобылы к апайке[409] покажусь?.. — объяснял Арефа со своей наивностью. — Как к ней пешком-то ворочусь?

Две недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела «любая половина». А там пошла новая потеха: «орда» кинулась на русские деревни с особенным ожесточением, все жгла, зорила, а людей нещадно избивала, забирая в полон одних подростков-девушек. Кровь лилась рекой,

а «орда» не разбирала, — только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую сторону им бежать. А впереди везде по ночам кровавыми пятнами стояло зарево пожаров...

Пленных было так много, что «орде» наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. «Орда» разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздирающие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипение. «Орда» выла от радости... Не все удавленники кончились разом. К общему удивле-

нию, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее.

— Ах ты, шайтан! — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел. — Да как ты-то попал?

Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди.

— Вызволил преподобный Прокопий от неминучей смерти, — слезливо объяснял Арефа. — Рядом попались мужики с толстыми шеями, — ну, меня и не задавило. А то бы у смерти конец...

Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще большие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не

успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам «орда» сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сеита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косой зеленая степная трава.

Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыри пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью... У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни.

Глава 12

Пока дьячок Арефа томился в огненной работе, в медной горе, а потом в полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон надвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастыр-

скими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала, зорила и жгла «орда», а теперь бунтовали свои же казаки, и к ним везде приставали не только простые крестьяне, а и царские воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное — сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимавшейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смущали: то он идет с несметною силой, то его нет, то он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала «орда», а потом потянули на их же сторону заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более от жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гуляющие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от «орды».

Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильною рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел стороже-

вые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было пять по углам окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по три пушки в двадцать пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая сто двадцать пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот, — это было самое опасное место, откуда нападала «орда». На случай, если бы неприятель сбил ворота, он был бы встречен двадцатифунтовым ядром. Особенно любовался этою большою пушкою новый инок Гермоген. Он по нескольку раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафет и колеса, любовно гладил и еще более любовно говорил келарю Пафнутию:

— Это наша матушка игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги.

Вообще Гермоген ужасно интересовался всякою воинскою снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что и что к чему. Чугунных ядер и картечи в

кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху не хватало — всего было двенадцать пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было три десятка старинных затинных пищалей и до ста ружей — фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Усторожья воевода Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей, которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому: сколько «принимала зелья» каждая пушка, как закладывается ядро, как наводить цель, как чистить после стрельбы и т. д. По совету Гермогена одну трехфунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой.

А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитична, сильно не ладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер самолично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть все. Не любил он это «воронье гнездо» и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своею тяжкою болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел кругом стены и только покачал головой: все сгнило, обвалилось и кричало о запустении. Башен было всего две, да и те покосились и грозили падением ежечасно.

— Плохо место, — заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены. — Одна труха осталась... Пожалуй, и починивать нечего.

— Пора совсем порушить это лукошко, — задумчиво ответил игумен. — Не подобает ему здесь быти... Пронесет господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь.

— А куда же сестры денутся?

— По другим монастырям разошлем... Да и разослал бы раньше, кабы не эта наша княжиха. Нет моей силы на нее... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня княжиха по рукам и по ногам!

Все хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне и в мастерских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игуменье.

На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитична. Сильно она похудела за последнее время, постарела и поседела: горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил:

— Ну, как поживаешь, матушка-воеводша?

— Ох, не спрашивай... Какое мое житье: ни баба, ни девка, ни вдова. Просилась у Полуехта Степаныча на пострижение в обитель, так он меня так обидел, так обидел... Истинно сказать, последнего ума решился.

— Мудреное ваше дело, воеводша. Гордыня обуяла воеводу, а своя-то слабость очень уж сладка кажется... Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон што придумал. Писал я ему, да только ответа не получал... Не сладкие игуменские письма.

Дарья Никитична только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею: не умел он устрашить воеводу вовремя, а теперь лови ветер в поле. Осатанел воевода вконец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, а знает только свою поганку Охоньку. Для нее подсек и свою честную браду, и рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Охонькой, как медведь за козой, и радуется своей погибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало.

— У меня с игуменом будет еще свой разговор, — хвастался воевода. — Он еще у меня запоет матушку-репку...

Воевода не мог забыть монастырской епитимий, которой его постоянно корила Охоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько

ему досталось монастырское послушание: не для бога поработал, а только посмешил добрых людей. То же самое и Охоня говорила...

— Все лежишь, Досифея? — спрашивал игумен Моисей.

— Бог за всех наказывает, — смиренно ответила больная игуменья. — Молитвы-то наши недоходны к богу, вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец...

— И то молюсь по своему смирению... Вот стенки пришел поглядеть: плохо ваше место, игуменья. Даже и починивать нечего... Одна дыра, а целого места и не покажешь.

— А чья вина? — заговорила со слезами Досифея. — Кто тебя просил поправить обитель? Вот и дождались: набежит орда, а нам и ущититься негде. Небойсь сам-то за каменною стеною будешь сидеть да из пушек палить...

— Еще неизвестно, што будет, а ты зря болтаешь...

— Чего зря-то: неминучее дело. Не за себя хлопочу, а за сестер. Вон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов... Казачишки с ордой хрестьян зорят. Дойдут и до нас... Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу

один ответ, а начальству другой... Вот и матушка-воеводша с нами страдать остается, и сестра Фоина в затворе.

— Будет, мать Досифея... Без тебя знаю, — сурово ответил игумен. — Тебя не прошу за себя ответ держать...

— Горденек стал, игумен, а господь и тебя найдет. С меня нечего взять: стара и немощна. А жалеючи трудниц, говорю тебе... Их некому ущитить будет в обители. Сиротские слезы велики... Ты вот зол, а может, позлее тебя найдутся.

— Да што ты мне грозишь?! — крикнул игумен, стукнув костылем. — Раскаркалась ворона к ненастью...

— А я скажу, все скажу, — не унималась Досифея. — Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь, за тебя же бога буду молить. Денно-нощно прошу смерти, да бог меня забыл... Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен, — тоже напрасную смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе... крепко молиться.

Не выносил игумен Моисей встречных

слов и зело распалился на старуху: даже ногами затопал. Пуще всех напугалась воеводша: она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали... В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот-вот игумен размахнется честным игуменским посохом — скор он на руку — а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду — быть беде.

Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров свыше меры. Пафнутий едва поспевал за ним.

— Завтра поеду в Усторожье, — объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь, — у нас в монастыре все в порядке... Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет... Время не ждет.

Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайный смысл игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных

мыслей, которые так и кружились над ним, как летний овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена... Славу пустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжко вздыхал и всю ночь проворочался с боку на бок. А подумать было о чем: ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается — опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой день, а игумен уж успел собраться: живою рукою склался. Тороплив не ко времени сделался.

— Я скоро ворочусь, а вы на всякий случай сторожитесь, — советовал игумен, благословляя братию. — Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше: господь любя наказует...

Братия молча поклонилась игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми, а когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворот, неизвестный голос сказал:

— Однако и напугала его матушка Доси-

фея!..

Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестным. Келарь Пафнутий поник своею лысою головою: худая весть об игуменском малодушестве уже перелетела из Дивьей обители в монастырь.

Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча тучей. Все как-то не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая завороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея, а тут еще выжившая из ума Досифея каркает про напрасную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду.

В Усторожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно и неприборно, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один

Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего. У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, завидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся.

— Што за человек? — сурово спросил игумен старца Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами. — Там, у ворот?..

— А там... неведомо кто, владыка. Пришел, да и прижился. Близко недели, как на подворье... Из орды, сказывает, едва ушел, из полону. Отдыхает теперь... Он будто верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывает, нещадно...

Оглядевшись, старец Спиридон прибавил уже шепотом:

— Одно неладно, владыка: лошадь-то я опознал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла...

Игумен велел позвать таинственного мужика и, когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате.

— Што, сладко ли в орде было? — спросил

игумен, останавливаясь. — Все, видно, бросил, ничего с собою не взял... Монастырское-то добро впрок не пошло? Вижу твое рубище, а не вижу смирения...

— Не под силу нам, мирским людям, смирение, когда и монахов гордость обуяла, — смело ответил мужик. — Я свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четверне...

— Смейся, заблудящий пес... Скитаешься по орде, яко Каин, стяный и трясыйся, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя...

— А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня взвеличал, а в писании сказано, што «пес живой паче льва мертва...». Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А промежду прочим будет нам бобы разводить: оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет... Теперь и делить нам с тобой нечего. Видно, так... Беда-то, видно, лбами нас вместе стукнула.

Смелый мужик положил шапку и протянул руку игумену.

— Здравствуй, Тарас Григорьевич... Сильно ты помят, пожалуй, и не признать бы сразу.

— И то никто не узнает, а я и рад... Вот выправлюсь малым делом, отдохну, ну, тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба: надо лошадь переслать в Служнюю слободу. Дьячкова лошадь-то, а у нас уговор был: он мне помог бежать из орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихе. И хитрый дьячок: за ним-то следили, штобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели... Так я жив ушел.

Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили запершись, и игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся и сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в «орде» и в казаках и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки.

— А воевода Полуехт Степаныч сидит в Усторожье да радуется, — заключил Гарусов свой рассказ. — Свое стариковское лакомство одолело... Запрется, слышь, с дьячковскою дочерью и кантует.

— А вот мы доберемся до него.

Вечером игумен Моисей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре, и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода.

— Што вам нужно, полуношники? — громко спросила воеводская голова.

— А к тебе в гости пришли, Полуехт Степаныч... Аль не признал?.. Ну-ко, растворись да принимай дорогих гостей честь честью...

Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока распахнулись тяжелые ворота и дорогих гостей пустили на воеводский двор. Сам Полуект Степаныч вышел на крыльцо.

— Благослови, владыка...

— Нет тебе благословения, блудник! — отрезал игумен Моисей, проходя в горницы. — Где девку спрятал? Подавай ее... Она моя, из нашей Служней слободы, а ты ее уволок тогда с послушания, как волк овцу. Подавай девку...

Сейчас прокляну!..

Затрясся весь Полуект Степаныч, из лица выступил и только прошептал:

— Ничего я не знаю, владыка... Бери сам, а я не знаю.

Игумен Моисей обошел воеводские покои и нашел Охоню в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Охоня молчала все время. Одета она была, как боярыня: в парчовом сарафане, в кокошнике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубас. Она так же молча переоделась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом.

Глава 13

Охоня высидела в бане целых три дня и все время почти не ела. Да и нечего было есть. Только старец Спиридон сжалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку.

— Эй, Охоня, што ты все молчишь? — спросил старик.

— Тошно... отстань...

— Эх, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя: пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе.

— А што мне было дожидать?.. Хоть час, да мой... Было бы в чем покаяться да под старость вспомнить.

— Девка, молчи!..

— И то молчу... А ты не спрашивай без пути. Говорят тебе: тошно.

— Грех-то какой ты на душу приняла, а? — брюзжал Спиридон. — Ты подумай только, грех-то какой...

— У девки один грех, а ты осудил, — грех-то и вышел на тебе. Помру, ты же замаливать будешь.

— Ну и девка! — удивлялся Спиридон. — Ты как должна бы себя содержать: на голос реветь... А то молчит, как березовый пень.

— Может, плакать-то не о чем. Надоел... уйди.

Старец Спиридон только вздохнул. Ну, и чадушко только зародилось у дьячка. Того гляди, еще что-нибудь сделает над собой. А Охоня действительно сильно задумывалась:

забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает-думает, закроет глаза, и кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше, а тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит как сумасшедшая. Страх нападал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивает: «А, ты вот где!» Хочет Охоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно! Всю-то свою девичью жизнь вспоминает Охоня, как она у бати жила в Служней слободе, ничего не знала, не ведала, как батю в Усторожье увезли, как ходила к нему в тюрьму... А там в окно глядели на нее два соколиных молодецких глаза, — глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянулось Охоне обительское послушание: убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуект Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичон-

ка, а размякнет — не глядели бы глазыньки. Туда же — целоваться лезет, сторожит, заглядывает... Смешно даже было, когда Охоня, случалось, прогонит его, а воевода сядет и заплачет, как ребенок малый.

— Сняла ты с меня голову, Охоня, а теперь гонишь... Молодого тебе надо. Скучно со стариком...

В другой раз Охоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, и воевода повеселеет.

Да, было всего, а главное — стала привыкать Охоня к старому воеводе, который тешил ее да баловал. Вот только кончил скверно: увидел игумена Моисея и продал с первого слова, а еще сколько грозился против игумена. Обидно Охоне больше всего, что воевода испугался и не выстоял ее. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался.

А воевода тоже думал и передумывал об Охоне все эти три дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опочивальне. А когда ему принесли с подворья весь дареный Охонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчовому сарафану и зарыдал. Все прислала назад, ничего не оставила, кроме перстенька

с яхонтом. Такое лютое горе схватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, писчика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока, — больно дерется игуменский посох... А через три дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в Дивью обитель за воеводшей. Повесил седую голову Полуект Степаныч, закручинился... Молодая-то радость вспорхнула, и нет ее, а воеводшу не скоро-то избудешь. Возвратится из обители, поселится и будет жить, как бельмо на глазу. Эх, Охоня, Охоня!.. Эх, старость проклятая!.. Одного не знал воевода, что в колымаге отправлена была и Охоня, под крепким караулом. Ее прямо должны были привезти в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фоина.

Утешался Полуект Степаныч только травником, да и то приходилось пить одному, — ни игумен, ни Гарусов не принимали даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся.

— Ну, будет тебе дурить! — бранил его игумен. — На старости лет натворил того, што и

подумать-то нелепо. С лукавою плотью нужно бороться и нещадно ее терзать.

— А ежели меня дьячок испортил? — оправдывался воевода. — Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло... Вот как испортил: не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил?.. Ох, горюшко душам нашим!

— Ну, это уж ты врешь! — спорил игумен, стукая посохом. — Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал... Я вот его на цепь прикую, как только выворотится из орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует.

— Теперь ты не удивишь его ничем, — посмеивался Гарусов. — После моей науки нечему учить... Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего и нет.

— Ну, ты уж тово, как медведь, — ворчал воевода. — Зачем насмерть-то забивать крестьянишек?

— А ежели они не хотят задатков отрабатывать?

— Помалкивай, Тарас Григорьич... Знаем, што знаем, а промежду прочим дело твое, ты

и в ответе.

Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит и вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится?.. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уже теперь времени-то прошло... А ведь все там осталось, на Баламутском заводе да на руднике. Разорят вконец, ежели казачишки захватят все обзаведение. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело... А начальство ничего не хочет помочь, да и силы нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтар и драгун из Тобольска, а о них ни слуху ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства: схватятся, а дело уже сделано.

А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Гарусову: бродит он по Усторожью как неприкаянный и все смотрит в свою сторону.

Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверко да сухой снег подметает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится: оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит.

— Хорошо, што вы вовремя помирились, — язвит Полуект Степаныч. — А то делились, делились, никак разделиться не могли... Игумну своего жаль, а Гарусов чужое любит.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, Полуехт Степаныч. Вот што ты заговоришь, когда воеводша Дарья Никитишна из обители выворотится.

— А ежели на меня напущено было? Да ты, Тарас Григорьич, зубов-то не заговаривай... Мой грех, мой и ответ, а промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват — и весь тут... Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов.

— Так, так, — повторял игумен. — Хороший ты человек, воевода, когда спишь. А днем-то мы тебя што-то немного видим. Вот и

сидим у тебя да ждем погоды. Засилья нам не даешь, а то и мы бы выворотились к своим местам...

— Ужо по заморозкам рейтары придут, — отвечал воевода. — Они теперь на винтер-квартирах... Мне и то маэор Мамеев засылку делал... Тоже приказу ждут. Неведомо еще куда их пошлют. А вас и без рейтар ущитим... Тоже видали виды...

В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уже все было охвачено: и бывшая монастырская вотчина, и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житьишко везде, народ разбежался куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на ектеньях поминают царя Петра Федорыча.

— Что же это будет-то? — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу. — Где же начальство-то? Чего оно смотрит?..

— А вы сами виноваты, — объяснял Полуект Степаныч. — Затеснили вконец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел. У всякого своя причина. Суди на волка, суди и по волку... А главная причина — темнота одолела. Вот я, — у меня все тихо, потому как никого я напрасно не обижал... У меня порядок.

Похвастался воевода, а тут как раз писчик Терешка сбежал к мятежникам да еще подбросил на воеводский двор «противное» письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю «поганую бороденку».

— Что же, не кормя, не поя, ворога не наживешь, — грустно заметил Полуект Степаныч.

Побег Терешки обозначал, во-первых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Полуект Степаныч сразу встряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность

воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в «орду» и сторожевую службу по линии. Городские жители тоже готовились к предстоящему сидению, потому что и зима велика, а народу набежит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был — «именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и проч., и проч., и проч.», в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно, до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление и за то будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованием и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностию. И повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость; а ежели вы моему указу противиться будете, то вскорости восчувствовати на себя праведный мой гнев. Власти всевышнего со-

здателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто, — от сильныя нашея руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр Третий Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше.

Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне[410]. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу.

— Терешкина рука, — проговорил он со вздохом. — Ах, сквернавец!..

— А это дьячкова рука, — уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист. — Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьич... Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало... А что же наша воеводша не едет?

— Пора бы ей быть дома, — смущенно заявлял воевода. — Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..

В сущности, воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо

он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитична вся обмерла со страху, ожидая неминучей смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь.

— Терешка, побойся ты бога, — взмолилась воеводша.

— Это вы побойтесь теперь бога-то, а мы достаточно его боялись, — с холопскою наглостью ответил Терешка. — Поклончик воеводе... Скоро увидимся, и то я уж соскучился.

Из других вершников[411] напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за началь-

ника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:

— Оставь, Тимошка... Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуется, што старушка благополучно доехала.

По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак[412], который сидел за дубинщину в усторожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атаманит».

— Посмеялись они над нелюбимою женою, — жаловалась воеводша. — Ну, да бог их простит... Чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем дому.

Воеводша встретилась с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала

рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.

— Похваляются Прокопьевский монастырь взять, — рассказывала воеводша, покачивая головой. — На монастырскую казну зарятся... А потом, говорят, и Усторожью несдобровать.

— А про дьячка Арефу не слыхать? — полюбопытствовал Гарусов.

— Как же, пали слухи и про него... Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась... Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили... Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамота и говорить-то... В первый же день хотела она удавиться, ну, из петли вынули, а потом стала го-

лодом себя морить. Насильно теперь кормят… Оборотень какой-то, а не девка.

Глава 14

В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилась масса народа, сбежавшегося сюда со всей Яровой и ордынской линии. Другие пока пристроились в Служней слободе, потому что монастырских помещений не хватало. А время было зимнее, холодное, и всем нужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебная и квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый народ, а сами благоуветливые старцы сбились в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожью, в «орду» и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтоб идти на Прокопьевский монастырь.

— В Башкири свой атаман объявился, —

рассказывали беглецы. — Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...

Но Башкирь была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, и за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником состоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смирный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.

— Не своею волей Арефа подметные письма пишет, — говорил он. — Застращали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится...

— В животе и смерти один господь волен...

— Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, штобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье и у Гарусова.

— На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, не гоже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.

О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели «встреча» случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить — и весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к мо-

настырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст на тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.

Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.

— Плохая надежда на Служнюю слободу, отец келарь, — говорил он. — Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...

— А што он говорит?

— Вот то-то и дело, что отмалчивается поп

Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.

Больным местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать — сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Охоне знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал.

— Обитель захватят воры прежде всего, — говорил Гермоген, рассматривая с башни позицию. — Ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.

— Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь, — повторял Пафнутий с сокрушением. — Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...

В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.

Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:

— Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорычу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!

Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.

«Какой у вас Петр Федорыч? — писал им отписку келарь Пафнутий. — Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время двенадесять лет... А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее импера-

торского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди...»

Монахи боялись за крещенье, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещенье прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещенья. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая

ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черною лентой, точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.

— И без игумена управимся, — утешал его Гермоген. — Он нам из Усторожья подмогу приведет.

Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза — не во сне ли все это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был

встречен честь честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.

— Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей, — заявил он. — По злобе ты засажена была сюда...

Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью:

— Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь.

Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обо-

млел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам.

— Ты... ты кто такая будешь? — тихо спросил он.

— А все та же... была отецкая дочь...

Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, зашатался и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.

— Не время теперь девок разглядывать, — ворчал он. — Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.

Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.

Игуменья Досифея была найдена в своей

келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своею смертью.

Тихое обительское житье сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в Служнюю слободу, а все обительские здания были заняты воинскими людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правилась заново. Ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкари из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли и сундук с обительскою казной, которой налицо оказалось очень немного: бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный. За ним ходил дьячок Арефа и наговаривал:

— Пусти меня, атаман...

— Куда тебя пустить?

— А к дьячихе. До смерти стосковался по своем домишке.

— Ну, ступай, черт с тобой, да только не сбеги у меня, а то...

— Теперь уже мне некуда бежать. Будет... Мне бы только дьячиху повидать, а тут помирать, так в ту же пору.

Побежал Арефа к себе в Служнюю слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день короток, — не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороге дьячок остановился перевести дух. Служняя слобода так и гудела, как шмелиное гнездо, в Дивьей обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно... Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может, и нет. Вон поп Мирон соблазнился... Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего неизвестно.

Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своею бабьей стряпней, благо было кому теперь продавать и калачи и

квас. Почище ярмарки дело выходило.

— Здравствуй, Домна Степановна.

— Здравствуй, Арефа Кузьмич... Каково тебя бог носит? Забыл ты нас совсем... Спасибо, што хоть кобылу прислал.

— А где Охоня?

Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил:

— Трудненько будет, Домна Степановна... В Дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек по монастырю палить будет.

— И в монастыре тоже пушки налажены... Только, сказывают, бонбы-то верхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегала к попу Мирону... У него Терешка-писчик из Усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, што ни взад ни вперед...

— Ничего, не бойся: маленькие мы люди, с нас и ответ не велик.

Опять обошел все хозяйство Арефа и поди-

вился: все в исправности у Домны Степановны и всего напасено вдоволь. Не покладаючи рук работала старуха. Целую ночь провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уже после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводшу из Дивьей обители, как бежала Охоня и как ухватил ее нечестивый Ахав-воевода. Ездила дьячиха в Усторожье, только пристава ее не допустили к дочери. Напринималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Охоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь уж Арефа слушал и плакал.

— Забыл, видно, нас преподобный Прокопий, — повторял дьячок. — Ни в живых, ни в мертвых живем.

И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на сво-

их полатях. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячею водой и варили варом. А утром видно было, как зашевелилась вся Дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гермоген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в Яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служняя слобода. Немного погодя грянула первая пушка из Дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилось в каменную монастырскую стену.

Это было началом, а потом пошла стрельба на целый день. Ввиду энергичной обороны, скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко, а пускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же палили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в Ди-

вью обитель, Брехун его прогнал.

— Ступай к своей дьячихе, а нам и без тебя хлопот достаточно...

К дьячихе так к дьячихе, Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек пять оказалось убитых, а в том числе чуть не пострадал и Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом.

Глава 15

Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал ни-

каким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его бодрить. — Конец мой... тошнехонько...

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подобрав полы монашеской рясы, жалкою трусцой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом самом месте убьют? — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермо-

геном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо, — заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию. — Ты — старик, а боишься...

Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

— Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убито, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец, — кричал Белоус. — Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в

тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братии, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея, — рассказывал он. — Затаил я это самое дело, штобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это писчик Терешка да слепец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня? — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе, — а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось.

Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне, — смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-писчиком. — Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погорюет, а Охони все-таки не воротит... Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пущает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороной Урала.

— Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь, — советовал Брехун. — Лучше этого нет средствия... К самым стенам подка-

тим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь, — по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служнюю слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа.

— Сдавайтесь! — кричал Мирон своим зычным голосом. — Может, батюшка Петр Федорыч и помилует!

— Вот ужо придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный, — отвечали со стены монахи. — Не от ума ты, поп, задурил... Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие, — смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, а половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем завиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но инок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо, — грозился Брехун. — Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустился и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его охватит к Охоне, — своими руками задавил бы змею подколодную, — то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидать боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему

в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришлась степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собою про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла... Целовалась и миловалась с старым да корявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела-пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его Охоню. Вскочит он как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Охони, не

переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел гонец: идут к Усторожью рейтарские полки, а дён через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служнюю слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь честью. Приготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил

свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит, теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служнюю слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посы-

лал все вперед, — это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел он все пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служняя слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служнюю слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами воро-

та еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атаман, убирать подобру-поздорову пяты, — советовал Терешка. — Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься...

— Да я так...

Неудачный приступ навел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьею сотнею. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно-долгих

три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец, прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут...

— Пусть!..

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус, наконец, поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю слободу с другого конца занимали рейтары [413]. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда — никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона.

Послесловие

Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопища Пугачева прошли на Казань, а по всей Яровой шла деятельная «разборка». В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов, в Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и маэор Мамеев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуект Степаныч. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один «ровнячок», та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели

самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания — «брать десятого». Этого несчастного десятого били кнутом, драли плетьми, дули батожьем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени.

«Головка» бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и Брехун. Они ушли целы и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое: поп Мирон, дьячок Арефа и писчик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судною избою, где раньше уже сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуект Степаныч хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей «шатости» и не примкнуло к самозванцу.

— Э, пора костям и на покой, — устало говорил воевода. — Будет, послужил... Да и сво-

их грехов достаточна. Пора о душе подумать...

Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабною энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служняя слобода давно повинилась, как один человек, «десятый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях.

Замирившийся край представлял собой печальную картину. Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались непахаными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врозь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову.

Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и писчиком Терешкой собрались в Усторожье все: и воевода Полуект Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и маэор Мамеев. Долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. Писчик Терешка не вынес этой пытки и «волею божиею помре», как сказано было в протоколе допроса. Попа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь.

— Слава богу, — проговорил Арефа, перекрестившись. — Давно бы так-то, так оно бы лучше. Конечно, жаль дьячихи Домны Степановны, только на што я ей теперь? Был конь, да уезжен.

Таким образом, все успокоилось.

Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра: во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся Дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасать из затвора княжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри

и сгорела живая. По слухам, она давно уже была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инока Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Мирону, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефе, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающею кротостью.

Прошло несколько лет.

Одряхлел воевода Полуект Степаныч и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в других городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табачники. Полуект Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто легче на душе... Любил старик покалякать с опальными иноками о недавней заворохе,

особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о неповинно зарезанной Охоне и дьячихе Домне Степановне, переехавшей на житье в Усторожье, — она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду.

— Все мы грешные люди, — повторял с грустью Полуект Степаныч, качая своею седою головою. — А на каждом грехов, как на черемухе цвету...

Агафангел иногда начинал заговариваться, приходил в ярость, и его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь, и задумал он небывалое, именно, перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано — сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая работа закипела. Разбирали каменные монастырские стены, и кирпич свозили на плотах по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки и только оставили до времени один

собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которое не напоминало ему ни о дубинщине, ни о пугачевщине.

Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода. Монастырские крестьяне были переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянули и остальные. Но новый монастырь строился тихо. Своих крестьян оставалось мало, да и монастырская братия поредела, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь.

Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский ата-

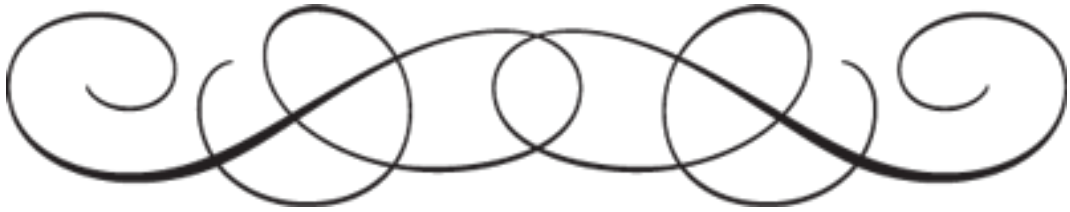
ман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Усторожье. Старый воевода встрепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуекта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуекта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой... Так печально кончил последний усторожский воевода.

Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы Охони-

ными бровями.

ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО

(Воспоминания)



ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ

Проводы

I

В жизни каждого человека бывают решающие моменты, те «дни посещения», когда происходят многознаменующие душевные перевороты. Для меня именно таким явился серенький августовский денек, когда я проснулся на чусовской пристани Межевая Утка.[414]

В большой и светлой гостиной, выходившей окнами на Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собрались все действующие лица: мой отец, мой старший брат Николай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей, мальчик и

девочка, которые с детским любопытством следили за совершавшимся событием. Все отъезжавшие были одеты по-дорожному и торопливо допивали чай. Федор Петрович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то приказания. Это был высокий, русоволосый господин с румяным лицом и слегка вившимися темно-русыми волосами.

— Чемоданы уложены? — слышалось из передней. — Хорошо… Не забудьте черпаки для воды. Как шитик?[415]

У моего отца было тревожное выражение, и он все посматривал в окно.

— Как бы не зарядило ненастье… — повторял он несколько раз.

— Нет, погода разгуляется, — успокаивал Федор Петрович. — До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как солнышко выглянет. Я уж знаю…

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замечательно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался, когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие

лица — брат и Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели немного смущенный вид, как артисты, которые за кулисами приготовляются к своему первому выходу на сцену. Брат Николай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Николай Тимофеич — белокурый, широкий в кости крепыш с такими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для поступления в духовную семинарию, — они только что кончили духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо, стеснялся незнакомой обстановки.

— Все готово, — заявил Федор Петрович, выглядывая в окно.

— Ну, господа, пора... — торопил отец.

По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все присели на минутку, помолились и начали прощаться. Помню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и сказал:

— Кланяйся маме... Тебе на днях тоже нужно будет ехать. Будь умным...

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, — справа ее подпи-

рала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень. Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что дальше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт рогожкой.

— Ничего, погодка разгуляется, — повторял Федор Петрович, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпался мелкий, как пыль, осенний дождь «сеногной».

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:

— Дальние проводы — лишние слезы...

Прощайте!

Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Только дети чувствуют в полной мере эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на скамеечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата было недовольное лицо, — он не отличался особенной энергией, а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст. Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо

отвалил от берега, а потом его подхватила сильная речная струя и понесла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и долго махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разглядеть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который с левого берега подвинулся к самому Красному Камню, — еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за поворотом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое ощущение, которое меня охватило, — это ощущение одиночества. Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и крикнуть: «Папа, возьми меня с собой...» Что-то такое сдавило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, маленьким и беззащитным.

— Ну, малыш, пойдем... — вывел меня из тяжелого раздумья Федор Петрович. — Нужно закусить, а там поедешь в Висимо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь...

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и повиновался механически, как манекен. Раньше я относился к этим проводам как-то легкомысленно и только сейчас

понял всю важность случившегося. Слезы так и подступали к горлу, но я сдерживался, потому что — «плачут только девчонки». А одиночество точно все больше и больше накоплялось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, который говорил что-то такое в мое утешение.

Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив детского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе осталась забытая им в дорожной суете люстриновая коричневая ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на окне завернутые в бумагу «подорожники», которые мать приготовила специально для него, и т. п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на горную красавицу Чусовую, которая унесла дорогих сердцу людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой подарок.

II

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ничего особенного не представляла. Пара крепких «киргизок» быстро несла легкую долгушку; разбитной заводский кучер весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули незаметно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это было возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть. Мне казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, погода действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие уральские горные заводы: заводский пруд, под ним — фабрика, на горке — белая каменная церковь, по гористым берегам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские домики. Лес был близко, и стройка

везде была хорошая. За фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду низенький господский дом, где жил старичок-управитель Степан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную поговорку: «Я говорю: да, любезнейший!» Когда он сердился, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Недалеко от господского дома — заводские конюшни, где стояли две знаменитые лошади, — одну звали «Не хочу», а другую — «Не пойду». Все эти мысли проходили у меня в голове, пока долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы остановиться у деревянного домика в три окна, где жил наш знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина, черноволосый, румяный, высокого роста.

— Придется малость обождать, — заявил он после расспросов об отъезде отца. — Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя захватит...

Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст, и дорога шла уже горами.

— Я пешком дойду, Никон Терентьич...

— Что же, можно и пешком, — согласился

Никон Терентьич довольно равнодушно. — Дождя нет...

Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня зародилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше значения, чем та осенняя муха, которая во время нашего разговора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрощавшись, я направился пешком домой. Все эти девять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж не увижу до самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, поворот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая улица, где жили «кержаки», как называют на Урале раскольников, а там, сейчас за жилом (селеньем), начинались лес и горы. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой яркой, по сто-

ронам дороги стояли кусты шиповника с ярко-красными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой дороге мы столько раз ездили с отцом.

— Милый, бедный папа... — шептал я, прижимая к груди узелок с его рясой, от которой «пахло церковью», то есть ладаном и воском.

Мне почему-то было страстно жаль отца. Наверно, он теперь тоже думает обо мне... Ведь он такой добрый и хороший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое раннее детство, начиная с того времени, когда отец по вечерам носил меня по комнате на руках и что-нибудь рассказывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и везде отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а в детских болезнях — в особенности. Каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее

просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню, что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это была та сила, за которую хватались слабевшие детские руки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я видел много других отцов, которые совершенно терялись в таких случаях и которых успокаивали и утешали больные дети. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец, — на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом. Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от крупа. Кстати, часто бывает,

что все преисполнены щемящего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможными больными, когда приглашали его напутствовать умирающих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных; прибавьте к этому, что о мерах предохранения от заразы в то время имелись самые смутные представления, — и все-таки в нашем доме всего был единственный заразный случай с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух старших сыновей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до наступления нашего школьного возраста. Помню по этому случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого и не желал.

— Пустякам там учат, — спорил он. — Пусть лучше поступят в духовное училище... Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу и

не мог вспоминать о своем учении без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово было сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, которую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет совершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему отец, — он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, когда наступило время нашего учения, Крупенина уже не было в Екатеринбурге, — не помню хорошенько, перевели его на другое место или он умер. Отчаянию отца не было границ. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за учение, составлявшая, по-нынешнему, ничтожную сумму в пятнадцать рублей.

— Где же я возьму тридцать рублей за двоих? — повторял он. — Крупенин обещал освободить от платы... А тут еще форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег, негде их взять... Жалованья получаю двена-

дцать рублей, доходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим были малы доходы. Деревенские приходы, конечно, были лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с «ручкой», собирая «петровское», «осеннее» и «ругу». Он предпочел свою бедную заводскую независимость.

III

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию была разрушена, отец начал приготовлять нас троих, меня с братом и Николая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати, Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич и брат были старше меня на два года. Почему-то отец готовил всех нас в один класс, именно в «высшее отделение» тогдашнего дореформенного уездного духовного училища, делившегося на три отделения — низ-

шее, среднее и высшее, с двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето, причем мне это не стоило особенного труда благодаря чудной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово, а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил, а только читал, — прочтешь один раз, и дело готово. Через три года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержали экзамен, а я струсил, оказался слабее и был принят условно. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсацкого учения на меня подействовала совершенно ошеломляющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно. Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся и, вероятно, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Тимофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некото-

рых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихоньку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

— Ты еще не спишь?

— Нет, папа.

— Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров... Так...

Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не разбудить брата и Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место наше «высшее отделение», отчаянная бурса и вообще все училищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни всего два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся, что такой большой человек может плакать о такой маленькой козявке, и во второй и последний раз — сейчас. Он обнимал меня,

целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это возвращение под родную кровлю было омрачено при первом же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий священник о. Николай сказал мне:

— Что, брат? Убояхся бездны премудрости и возвратихся вспять... Все равно, брат, ты — отрезанный ломоть, как тебя ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года «без определенных занятий». Старшего брата не было, и мне приходилось коротать время в одиночестве, причем единственным удовольствием были книги. В нашем доме книга играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной минутой, чтобы заняться чтением.

— Это мой отдых, — объяснял он.

Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я, конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вместе с книжками появились и новые люди, причаст-

ные заводской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как человек, который вечно был занят и отдыхал только за книгой или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник, отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные... Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием что-нибудь купить:

— Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а

остальное — прихоти.

Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они навсегда остались в моей голове, как своего рода маленькая программа для личных потребностей. Одним словом — «прихоти» — сказано все... Ведь это громадное богатство — не завидовать и не желать того, что является излишеством и бессмысленной роскошью. А сколько людей томится вечной неутолимой жаждой именно такой роскоши, для которой приносится все в жертву...

Моя детская жизнь, конечно, не обходилась без некоторых правонарушений и неизбежных детских шалостей. Одной из самых сильных мер в видах моего исправления был рассказ о двух дьячках, который отец повторял с самой трогательной убедительностью. В качестве подсудимого я должен был выслушивать его до конца. Заключалась эта история в том, что один дьячок был скромен, послушен, трудолюбив, добр и честен, а другой обладал совершенно обратными качествами, в результате чего получились соответствующие плоды: мудрый дьячок прожил всю жизнь счастливо, и все его любили, а дьячок

злой и ленивый погиб под тяжестью собственных недостатков. Изображение этого последнего дьячка выходило, конечно, рельефнее, как всякий отрицательный тип, особенно, когда отец начинал рассказывать о его пьянстве и соединенных с этим занятием последствиях. Сам отец во всю свою жизнь не выпил ни капли вина. Говоря откровенно, мне оба дьячка были противны, потому что выступали на сцену в самые неприятные минуты моей жизни, как живые свидетели моих детских прегрешений, и, кроме того, я чувствовал, что они вели в моей душе неустанную борьбу, с переменным счастьем, как своего рода Ормузд и Ариман.

Да, я шел по дороге и старался вызвать все те картины своей жизни, где выступал отец. Я старался припомнить выражение его лица в разных случаях этой жизни, тон его голоса, взгляд добрых и строгих серых глаз, добродушную улыбку, которая постоянно освещала его лицо. Не было ни одного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и чем дольше я думал, тем выше и выше вырастал

в моих глазах этот благословивший мое детство образ. А солнце так хорошо светило; кругом выше и выше теснились родные зеленые горы; вот и последняя Лисья гора, с вершины которой открывался далекий вид на родной Висим. Я присел на камень, чтобы отдохнуть, и почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Эта первая душевная детская гроза разрешилась горючими слезами.

— Милый, дорогой папа...

Да, я уже сделался отрезанным ломтем...

Не могу не привести здесь чудное стихотворение из В. Гюго, в переводе Плещеева:

Еще совсем малюткой, в колыбели,
Однажды близ меня заснула ты...
А я стоял в раздумьи... Окружала
Нас сумерек таинственная мгла.
Придет пора, голубка дорогая,
Я в свой черед засну глубоким сном,
И ночь меня окутает немая.
Мрачней тюрьмы мой тесный будет гроб,
И птички я не буду слышать трели...

Тогда молитвы, слезы и цветы,
Все, что дарил твоей я колыбели,
—
Все возвратишь моей могиле ты!

У меня на далеком родном Урале осталась именно такая дорогая могила...

Дорога

I

После отъезда отца наш дом опустел и точно замер. Мне часто казалось, что вот-вот отец войдет, и я даже слышал его шаги, привычку легко покашливать и его голос. Раз в нашем садике я совершенно ясно слышал, как он позвал меня, и почему-то страшно перепугался. Потом мне приходили в голову самые мрачные мысли: а вдруг отец заболеет и умрет? Мне ярко рисовалась ужасная картина нашего сиротства, и хотелось плакать: как мы будем жить, когда старшему брату было всего пятнадцать лет, а младшей сестре только полгода? Я достаточно насмотрелся на чужое сиротство и вперед переживал свою беду. И это был страх не за то, что вся семья останется без средств и будет бедствовать, нет, материальные расчеты отходили на задний

план, а выступала главным образом нравственная сторона — потерять духовную опору, нарушить, так сказать, собирательную душу семьи. Прошло много лет, а я и сейчас до мельчайших подробностей представляю себе свое тогдашнее душевное настроение. Вообще, из хорошей, крепко сложенной семьи нельзя вырвать ни одной части, не подрывая в корне органическое существование целого.

Странно, что для меня сразу потеряли всякий смысл все детские игры и занятия, которым мы с моим другом Костей предавались раньше. Ведь каждая детская игрушка живет своей собственной жизнью, она согрета теплотой детского сердца и детского воображения, она несет в себе первые проблески просыпающейся личности, и вдруг она делается ненужной, лишней и умирает: если есть жизнь, то должна быть и смерть. Костя приходил ко мне, мы пробовали сделаться самими собой, но из этого решительно ничего не выходило. Мой друг тоже был невесел. Он завидовал мне, что я еду учиться, а он должен оставаться дома. В моменты малодушия я охотно готов был предоставить ему все свои

преимущества в этом отношении, но когда мы были вместе, я начинал притворяться и говорил о будущем с полной уверенностью.

— Колотить будут тебя бурсаки, — уверял Костя, страдая от зависти.

— Колотить? — храбрился я. — Нет, ты не знаешь моего характера... Я, брат, и сам могу поколотить. Очень просто...

— Ну, брат, там найдутся такие силачи...

— А у меня есть перочинный нож. Да... В случае чего... Одним словом, я шутить не люблю.

Будущий герой, в сущности, очень трусил, припоминая короткий опыт своего учения; но у Кости была скверная привычка поддразнивать, а тут всякий сделается героем. Мне кажется, что многие герои делались героями только из трусости и что в каждом человеке самым мирным образом уживаются и трус и герой.

Моя мать отличалась всегда ровным, невозмутимым характером и была вечно так занята, что не оставалось времени для горьких дум. По отношению ко мне она осталась все такой же, ничем не проявляя своего на-

строения. На меня это действовало ободряющим образом. Что же, ехать так ехать... Мать выдержала свой характер до конца, до самого момента разлуки. Дело в том, что мне приходилось ждать «оказии», чтобы доехать сначала до Нижнетагильского завода, а там опять ждать «оказии», чтобы доехать до Екатеринбурга. На мое счастье, первая «оказия» не заставила себя ждать. Я прождал дома после отъезда отца всего несколько дней. Раз утром я бродил в садике, как мать крикнула мне в окно, что в Тагил едет Терентий Никитич и что она успела его остановить на дороге.

— Скорее, скорее... — торопила она, хотя, собственно, торопиться было некуда, — все давно было готово.

Мой багаж состоял из одного большого белого мешка, в котором зашито было все мое имущество. Мой младший братишка настолько был еще мал, что относился к моему отъезду совершенно равнодушно и, кажется, интересовался больше судьбой этого мешка, особенно когда заводский кучер Паньша (уменьшительное от Памфил) начал его привязывать к заду дорожной долгушки. Терентий

Никитич, средних лет господин, высокий и коренастый, с добродушным русским лицом, был очень доволен, что мог доставить меня в Тагил.

— Все равно ехать, а двоим веселее, — повторял он, когда мать извинялась за беспокойство.

Мой мешок был привязан, я торопливо простился с матерью и братишкой и довольно храбро занял свое место в экипаже. Мать не плакала, а только смотрела на меня своими большими карими глазами.

— Ну, с богом! — проговорил Терентий Никитич. — Паньша, трогай!..

Пара крепких киргизок рванулась разом, и наша долгушка полетела вперед, как перышко. На повороте, где дорога повертывала влево, я оглянулся, — мать стояла у ворот, держа на руках маленькую сестренку.

— Мама, прощай!.. — крикнул я.

Прощай навсегда и золотое детство, и родное гнездо, и родные, бесконечно любимые люди!..

Наша дорога огибала новый заводский пруд, к которому сошлись все три конца, на

которые делилось заводское население: кержацкий (раскольничий), хохлацкий и туляцкий. С деревянного моста, перекинутого через реку Висим, в последний раз я посмотрел на родной дом. Дальше дорога шла туляцким концом, широкие, правильные улицы которого были уставлены такими крепкими избами. На самом выезде дорога поднималась в горку, и с этой высоты открывался вид на весь завод с деревянной церковью в центре и с дымившей под плотиною старого пруда фабрикою. Нашего дома в этой кучке построек уже нельзя было различить, а можно было только угадывать приблизительно его место.

Терентий Никитич, вероятно, намеренно велел Паньше придержать лошадей, чтобы я мог в последний раз посмотреть на родное место. Да, тут все было родное, и я составлял только атом этого громадного органического целого. Через многие-многие годы шлю свой привет дорогому Висиму и вижу его теми же глазами, какими видел его в этот роковой день.

— Паньша, трогай! — скомандовал Терентий Никитич.

Я чувствовал, что он наблюдает меня, не расплачусь ли я, но я выдерживал характер и выехал с сухими глазами.

— Молодец! — похвалил меня Терентий Никитич, гладя по спине своей широкой ладонью.

Что такое родина в тесном смысле слова? Какие таинственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в воображении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был родиться именно здесь, где родился? Почему, когда человек начинает стариться, он с такой любовью обращается к местам, освященным именно первыми детскими воспоминаниями? Мне делается как-то жутко при одной мысли о тех миллионах городских детей, детские воспоминания которых безнадежно упираются в стену соседнего дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь чердака или подвала, двором грязного многоэтажного дома, пыльною мостовой и, — в лучшем случае, — своею собственною городскою квартирой. Да, это уже не дети, а квартиранты,

жизнь которых размечена только разными квартирами, а для избранников — какой-нибудь дешевенькой дачкой.

II

Дорога из Висима в Тагил идет все время горами, пересекая водораздельную линию между Европой и Азией. Мне особенно нравилась первая половина этой дороги, если ехать не прямо на Тагил, а сделать повертку на Черноисточинский завод. Самый выезд из завода открывался красивой еловой порослью, куда мы каждую осень бегали за рыжиками. Дальше по течению реки Висима начинались покосы, а в числе их и наш, на откосе горы Пугиной. Это было чудное местечко, куда отец любил ездить «с чаем». Тут и бойкая горная речка, и роскошный луг, и лес, и студеный ключик. Для нас, детей, было величайшим наслаждением съездить на покос. Увы! Сейчас, вероятно, я не узнал бы этого места, потому что по всему течению реки Висима открыто золото, и от нашего покоса, без сомнения, не осталось даже следов.

С дороги, где был спуск к реке Висиму, я видел наш покос и мысленно прощался с

ним, как прощаются с близким и дорогим человеком.

— Прежде на Пугиной горе я много бил белки, — рассказывал Терентий Никитич, очевидно, старавшийся развлекать меня. — Бывало, идешь с охоты и кругом всего пояса навешана белка, как бахрома. Ну, а нынче шабаш!.. Как-то целый день бродил по Пугиной и Шульпихе, и хоть бы одна белка попалась. Ведь маленькая зверушка, эта самая белка, а какая хитрая: летом, когда она красная, хоть руками ее бери, а как только выпал снег, сделалась она серой — кончено! Идешь по лесу, собака нашла, облаяла, подойдешь к дереву, — ничего не видно. Непременно эта самая белка заберется в густую ель, в самую вершину, где ее и не просмотришь. Ну, у нас, у охотников, свое средствие: возьмешь топорик, очистишь кору на ели и обухом по голому месту: бух!.. Молодая белка не выдерживает и бросается на другое дерево, а старая еще поглубже заберется, заляжет между сучками, и ничем ее оттуда не возьмешь, хоть дерево руби. Случалось так, что и дерево рубили: подрубишь дерево, оно повалится, а белка

прыг на другое, — только ее и видел. Да, бывает.

Как теперь вижу лицо этого Терентия Никитича, такое доброе, хорошее лицо! Мне кажется, что есть какая-то необъяснимая таинственная связь между именем и человеком, который его носит. По крайней мере я другого Терентия Никитича в своей жизни не встречал. Отлично помню даже то место дороги, где он мне рассказывал об охоте по белке, именно — поворот около горы Пугиной.

Дальше следовал маленький перевал к деревне Захаровой, где через речонку, — кажется, тот же Висим — был ужасно крутой спуск. Здесь по обеим сторонам моста раскинулся знаменитый прииск «Рублевик», который давал тысячи пудов платины в крепостное время и, кажется, разрабатывается посейчас. Мы ехали в области настоящей уральской Калифорнии, где богатствам не было счета и все сокровища сосредоточивались на расстоянии нескольких десятков квадратных верст. Наша дорога пролегала прямо по золотым и платиновым россыпям. В описываемое мною время — середина шестидесятых годов — дерев-

ня Захарова являлась самою убогою деревушкой, половина населения которой после объявления «воли» ушла в Барабинскую степь. На земле, насыщенной миллионами, стояло около полутора десятка развалившихся избенок. Правда, что тогда платина стоила от 10 до 30 копеек за золотник, а сейчас она стоит около 3 рублей золотник. Кажется, это роковая судьба многих русских богатств: их начинают ценить только тогда, когда они исчезли.

От Висима до Захаровой было всего восемь верст, а на четырнадцатой версте стоял столб, обозначавший границу между Европой и Азией. Это был самый обыкновенный столб, напоминавший трактовую версту, и меня всегда удивляло, что такой важный географический пункт был отмечен таким ничтожным знаком.

— Теперь мы, брат, в Азию перевалили, — объяснял мне Терентий Никитич. — Были в Европе, а теперь покатим в Азию. И даже очень просто...

Я знал отлично значение пограничного столба и все-таки испытывал каждый раз какое-то неопределенное волнение, когда ехал

мимо, точно переступал какую-то заколдованную черту.

Сейчас за перевалом начиналась совершенно другая картина, как и везде на Урале, где восточный и западный склоны резко отличаются. Дорога шла красивыми изгибами между лесистыми зелеными горами, а потом выходила на крутой обрыв реки Чауша. В детстве я почему-то особенно боялся именно этого обрыва, где дорожная колея шла по самому краю.

— Вот здесь свалился один мужичок с возом, — рассказывал Терентий Никитич. — Его возом-то и накрыло. Мертвого нашли...

Черноисточинский завод расположен на истоке большого Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо красивее нашего Висима. От него до Тагила было что-то около двадцати верст, но характер дороги сразу менялся, — это была просека, которая шла прямою линией, так что с вершины каждой горы открывался вид верст на пять, и благодаря этому получалось такое впечатление, точно вы едете по какому-то коридору. — Точно плетью ударено по горам, — объяснил наш

кучер Паньша. — Никакого фасону...

Кучер Паньша был типичный заводский кучер, ленивый, сильный, с выбритым затылком и сознанием собственного кучерского достоинства. Это был истинный сын знаменитой когда-то заводской конюшни, заменявшей собой острог, пожарную и место экзекуции. По сибирской привычке, Паньша лихо пускал в гору, кричал на встречных и вообще держал себя с шиком настоящего заводского кучера.

Начиная от Черноисточинского завода, я уже чувствовал себя чужим все больше и больше, точно въезжал в какое-то чужое государство. Вероятно, Терентий Никитич подметил начинавшийся у меня упадок духа и старался, по возможности, направить мои мысли в другую сторону. Теперь не могу в точности припомнить, что он мне рассказывал, но в памяти сохранились только отрывки истории какого-то Демидова, одного из родоначальников этой знаменитой фамилии уральских заводчиков, который жил где-то на островах Черного озера, под Белою горой. Потом он рассказывал о медном тагильском рудни-

ке, о знаменитой Высокой горе, составляющей сплошную массу магнитного железняка в тридцать пять миллиардов пудов. Но все эти вещи меня сейчас мало интересовали, и мысль о том, что мы с каждым шагом дальше и дальше уезжаем от Висима, заслоняла все остальное. Мне начинало казаться, что я делаюсь все меньше и меньше и что впереди — все чужое и враждебное. В самом деле, кому какое дело до какого-то мальчишки? Ведь на свете так много детей, у которых под рукой была какая-нибудь защита, а я был один, один, один...

— Ну, что ты молчишь? — спрашивал меня Терентий Никитич и ласково трепал по спине.

А я думал о своем Висиме, который делался все милее и милее. Мне припоминался Терентий Никитич, каким я его знал в заводской конторе, когда он сидел за своим письменным столом, потом когда он по праздникам пел свежим тенорком на левом клиросе нашей церкви, наконец, когда он бывал в нашем доме в дни семейных праздников, как именины отца. Младший сын Терентия Ники-

тича, Алеша, был нашим приятелем с Костей и принимал живое участие в наших играх и шалостях.

III

С раннего детства я испытывал какое-то непонятное и жуткое чувство, когда с отцом приезжал в Тагильский завод или Екатеринбург. На меня угнетающе действовала эта масса домов, торопившиеся куда-то люди и вся обстановка людного, бойкого места. Мне казалось, что здесь именно живут всё гордые и сердитые люди, которые почему-то должны меня презирать. Так было и теперь, когда мы въезжали в Тагил с Терентием Никитичем.

— Вот она матушка, Высокая гора, — объяснял мне Терентий Никитич, указывая влево на небольшую сравнительно гору с остатком соснового леса на вершине и разрытым уступами боком, по которому ползли рудниковые таратайки, точно мухи. — На тысячу лет руды хватит... А вон видишь громадную зеленую трубу, — это медный рудник. Медная руда лежит глубоко в земле, сажен на восемьдесят. Трудно работать под землей, душно...

По Меднорудинской улице мы выехали к

громадной фабрике.

— Вон белый дымок попыхивает, — указывал Терентий Никитич, — это паровая машина работает. У нас в Висиме такой нет...

Мы быстро прокатили по деревянному мосту, перекинутому через реку Тагил, — Паньша хотел показать тагильским заводским кучерам, как ездят по-настоящему висимские кучера. С моста мы лихо взяли в гору, где на площади стоит монументальное здание главной конторы всех заводов с громадною колоннадой, поддерживающею фронтон. На площади перед конторой поставлен великолепный бронзовый памятник одному из Демидовых. Один висимский хохол ехал мимо этого памятника ночью и принял его фигуры за пильщиков, которых за какую-то провинность заставили работать всю ночь напролет.

Дальше шла улица, соединявшая главную площадь с громадным тагильским базаром. На этой улице сосредоточены были тогда главные магазины с красным товаром, галантереей и бакалеей, и я, как висимский хохол, каждый раз удивлялся тому, сколько нужно безумно богатых людей, чтоб покупать содер-

жимое этих роскошных магазинов.

— Да, в Тагиле много богатых людей, — вслух думал Терентий Никитич, очевидно охваченный такими же соображениями, как и я. — И откуда только, подумаешь, люди деньги берут...

Мы проехали через весь базар, установленный такими же деревянными лавками, как и висимский, затем повернули в улицу, которая вела из Тагила в Екатеринбург, и остановились у маленького двухэтажного деревянного домика в три окна, где жила мать Терентия Никитича. Мне кажется, что у каждого дома есть своя физиономия. Есть дома, которые прямо смотрят на вас такими приглашающими, добрыми глазами, как и домик, у которого мы остановились. В окно выглянула какая-то старушка в темном платочке на голове и, как мне казалось, посмотрела на меня с удивлением.

— А я думала, что это Алеша... — говорила она, когда недоразумение разъяснилось.

— Учиться едет, — говорил Терентий Никитич.

— Как же один-то?..

— Так уж вышло. Ничего, доедет...

И домик был добрый, и старушка добрая, и всякая мелочь домашней обстановки казалась мне доброю. Когда мы пили чай, старушка все смотрела на меня и качала головой.

— Не легкое место доехать до города, — думала она вслух. — Мал еще... Чего бы не случилось дорогой.

— Чему случиться-то? — сказал Терентий Никитич. — Вот найдет обратную подводу до Екатеринбурга и уедет. Тоже везде живые люди, а не звери...

— Так-то оно так, а все-таки мало еще место...

— Этакой-то богатырь да не доедет? — шутил Терентий Никитич, по своей привычке гладя меня по спине.

Он тут же дал мне и совет, где нужно будет искать «обратную подводу». Прежде всего надо обойти постоялые дворы около базара, где останавливаются обозные ямщики, и спросить, нет ли обратных в Екатеринбург. Потом по нескольку раз в день нужно обходить базар и спрашивать в хлебных лавках и т. д.

Терентий Никитич прожил в Тагиле три

дня и почти не бывал дома, кроме обеда и ужина. У него были свои заводские дела в главной конторе. Я с утра отправлялся на обход постоялых дворов и мучных лавок, но ничего подходящего не находилось. Были и ямщики и обозы, но не подходящие для меня: одни отправлялись по гороблагодатскому тракту в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какою-нибудь кладью, так что мне места не находилось.

— Куда ты на возу-то поедешь? — объясняли загорелые, бородатые ямщики, говорившие со мной, как с большим человеком. — Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-нибудь в нырке. Дорога-то теперь — не дай бог!.. За тебя же отвечай...

— А ежели поповича веревкой привязать к передку? — шутил кто-нибудь из молодых ямщиков. — Много ли в нем весу: с пуд не будет.

Старые ямщики останавливали это балагурство и советовали мне подождать пустой подводы.

— Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые поедут, — вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как колобок...

Мне нравилось, что ямщики говорили со мной, как с большим, и я старался говорить, как говорят большие.

— Ничего, подъедут с хлебом, — успокаивал Терентий Никитич, когда я ему давал отчет о своих поисках.

Прошло три дня. Терентий Никитич еще с вечера предупредил меня, что завтра утром уезжает домой. Я отнесся к этому известию довольно равнодушно; но утром, когда Паньша принялся закладывать лошадей, мое настроение сразу изменилось. Мне сделалось ясно, что уезжает последний знакомый человек и что теперь я остаюсь уже окончательно один. Я не мог отойти от лошадей, казавшихся мне почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и завидовал каждому колесу, потому что оно покатится в милый, родной Висим. Меня вдруг охватила смертная тоска, какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой радостью я опять вернулся бы к себе домой!.. В горле стояли слезы, и я молча наблюдал, как Терентий Никитич собирался домой. Да, он увидит и своего Алешу, и моего друга Костю, и мою мать, которая бу-

дет спрашивать обо мне, и родные зеленые горы.

— Ну, кажется, пора? — повторял Терентий Никитич, присаживаясь перед отъездом, по русскому обычаю, отдохнуть. — Жаль, что ты пока не нашел попутчиков... Ну, ничего, найдутся.

Я уже не мог ничего говорить, а только кусал губы в молчаливом отчаянии.

Когда Терентий Никитич простился и сел в экипаж, меня охватило такое отчаяние, описать которое нет слов. Вероятно, человек, которого оставляют на необитаемом острове или хоронят заживо, испытывает нечто подобное. До сих пор я не плакал, а тут разрыдался неудержимо, до истерики, так что плохо помню, как Терентий Никитич выехал.

Жизнь каждого человека идет не ровным током, а чередующимися между собой повышениями и понижениями, в результате чего получается кривая, вроде тех, какие выходят на сфигмографе, записывающем биение нашего сердца. Да, идет день за днем, проходят недели, месяцы и годы почти незаметно, и вдруг это мирное течение нарушается ка-

ким-нибудь событием, которое имеет решающее значение на всю последующую жизнь, как было и в данном случае. И солнце так же светит, и кругом люди так же предаются своей обычной суете, и нигде нет никаких заметных перемен, а для вас мир уже совсем другой, и люди кажутся другими, и сами вы уже не тот, каким были еще вчера...

До сих пор у меня сохраняется чувство глубокого сожаления к тем детям, особенно к новичкам, которых каждую осень везут из родной глуши куда-нибудь в город. Я страдаю за них, снова переживая то, что было когда-то пережито. Напрасно говорят, что дети чувствуют одностороннее больших, потому что их собственный жизненный опыт еще только начинается и в силу этого душевный кругозор невелик, — у каждого чувства своя собственная география, которая и велика и мала, смотря по обстоятельствам. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как тогда Терентий Никитич уезжал домой, и никакие наслоения дальнейшего жизненного опыта не в силах заслонить этот роковой момент, точно он увозил с собой мое действительно счастли-

вое, золотое детство...

Как милая старушка ухаживала за мной, как утешала и со святым терпением выслушивала бурно вырвавшееся детское горе! Я ей рассказывал об отце, о матери, братьях и маленькой сестренке, которых всех так любил. Мне припоминались те случаи из детской жизни, когда я огорчал отца или мать, и мне казалось, что я неисправимый злодей. Да, улететь на крыльях в Висим, всего на несколько минут, чтобы сказать все, все...

— Только до рождества подождать, а потом на святки домой, — уговаривала меня старушка.

Меня успокаивали не самые слова, а тот тон, которым они говорились: так знахарки заговаривают и унимают кровь...

IV

Пока я искал обратных ямщиков, погода испортилась. Началось тяжелое осеннее ненастье. По базарной тагильской площади едва можно было пройти, — везде стояла грязь по колено. На постоялых дворах было еще хуже, — там и в хорошую погоду всегда было грязно, а сейчас в этой грязи чуть не то-

нули лошади. Я и сейчас не могу без ужаса вспомнить об этих постоялых дворах, представлявших собой сплошную помойную яму. Во дворе — непролазная грязь, а в избе, где набивалось на ночь ямщиков двадцать человек, буквально нечем было дышать. Да кроме того, благодаря русской печи, в которой варилось, жарилось и пеклось иногда для целого обоза, стоял настоящий банный пар, от которого непривычному человеку можно было задохнуться. Но богатырская натура ямщика все переносила и еще лезла на печь.

Шатанье по этим постоялым дворам на меня производило самое угнетающее впечатление. Да и ненастье не радовало, потому что впереди предстояло ехать в совершенно открытом экипаже, то есть в простой обозной телеге.

После томительных поисков в течение пяти дней я, наконец, натолкнулся на обратных ямщиков. Как-то иду по базару, где стояли возы с огурцами, и вижу, что около одного воза собралась кучка любопытных. Подхожу и делаюсь свидетелем следующей сцены. Какой-то бойкий торгаш покупает два непол-

ных воза огурцов, причем продавцы никак не могут с ним сговориться.

— Ты купи сперва у меня воз али сперва у брата, — повторял бородатый мужик-огуречник. — Ну, а потом торгуй другой воз...

— А ежели я хочу купить оба воза зараз? — настаивал на своем торгаш. — Вам же лучше...

Мужики-огуречники долго мялись, почесывая в затылках. Собравшаяся у возов публика приняла живое участие в их затруднительном положении.

— Да вы, олухи, продавайте, а потом деньги пополам и разделите. Братьям легче делиться...

— Огурцы-то у нас разные, — объяснили братья. — Трудно делиться будет.

Торгаш, наконец, как-то уломал, и дело было кончено. Я воспользовался моментом и узнал, что огуречники едут в Екатеринбург порожняком. Старший брат согласился меня довезти и назначил цену два рубля. Я попробовал что-нибудь выторговать, но это оказалось напрасным.

— Вон какая непогодь стоит, — объяснял

ямщик, — а ехать надо полтораста верст.

Отъезд из Тагила прошел для меня в каком-то тумане. Острое горе разлуки сменилось тупым настроением. Прощаясь с милою старушкой, которая так ухаживала за мной все эти дни, я уже не плакал. Мои огуречники приехали за мной рано утром. Шел мелкий осенний дождь «сеногной». Оба брата поместились в передней телеге, предоставив в мое полное распоряжение заднюю, где из соломы и сена было устроено мне лежанье. Мой мешок служил мне подушкой. Когда я поместился в телеге, старший брат, огуречник Николай, прикрыл меня сверху рогожей.

— Вот тебе и пуховое одеяло, — шутил он. — Все-таки не каждая капля мимо.

Русский человек не может обойтись без шутки, как бы плохо ни было дело.

Милая старушка перекрестила меня на прощание и дала несколько советов огуречникам, как нужно следить за мной, чтобы я не промок дорогой и чтобы меня не обворовали где-нибудь на постоялом дворе.

— Уж будьте спокойны, — уверяли огуречники, — предоставим в лучшем виде.

Наши телеги тронулись. Старушка стояла у ворот и крестила меня издали. Милая старушка, вероятно, давно умерла, но я и сейчас вспоминаю ее с глубокою благодарностью, как человека, который так просто, хорошо и тепло отнесся к первому детскому горю.

Когда наши телеги тронулись, я вспомнил, что не успел сбегать на главную заводскую площадь, где стоял памятник, и проститься с родными горами и родною дорогой в Висим. Почему-то мне казалось, что именно эта площадь являлась лично для меня роковою гранью, отделявшею родное от чужого. За этой площадью оставалось все дорогое, родное, а впереди начиналась та чужая, дальняя сторонушка, о которой так много говорится в русской народной песне.

Уже при выезде из Тагила я имел удовольствие почувствовать все прелести путешествия в телеге по испорченной ненастьем грунтовой дороге. Сначала мне показалось очень удобным лежать в телеге; но когда она начала нырять по заторам и рытвинам, делать жестокие толчки о камни, я переменил свое мнение. Нужно сказать, что сибирская

ямщичья телега в своем роде — идеальное сооружение, начиная с того, что, за исключением железной оковки колес и железного курка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем, она вся слажена неизвестным механиком необыкновенно остроумно, до того включительно, что ее можно починить и поправить где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый вершок, каждый оборот колеса, и только на ней можно было ломать путины по сибирским трактам тысячами верст. Она необыкновенно легка на ходу, потому что переднее и заднее колеса почти сходятся; затем легка на повороте, потому что передние колеса, несмотря на свою величину, свободно подвертываются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим образом для лошади. Воз не мотается на ходу, легко добывается из зажор, и в такой телеге везде можно проехать. Российская телега ничего общего с сибирской не имеет, — длинна, высока, неповоротлива и вообще тяжела.

Мое «пуховое одеяло» быстро промокло, и сквозь него начала сочиться холодная дож-

девая вода. Это было пренеприятное чувство, когда она пробиралась холодной струйкой куда-нибудь за воротник или в рукава. Приходилось устраивать дождевой сток, пользуясь сгибами рогожки; но эти невинные хитрости помогали мало. А наши две телеги тянулись по разъезженному и избитому тракту с убийственной медленностью, — вероятно, не больше трех верст в час. До первой станции, «Грань», было двадцать пять верст, и я высчитал, что мы приедем туда уже после ямщичьего обеда, то есть далеко за 12 часов дня. А там лошади должны отдохнуть, потом их будут кормить, и дальше мы двинемся только к вечеру. Впереди предстояло провести всю ночь под дождем. Вообще картины рисовались совсем не радужные. А мои огуречники сидели себе на первой телеге и с ожесточением производили расчеты за проданные огурцы. Николай лежал, а его брат стоял на коленях и все время по пальцам доказывал какую-то арифметическую выкладку.

— Нет, ты погоди!! — кричал младший брат, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие.

Я слышал только одно слово «огурцы», которое повторялось на все лады, и завидовал, что не могу послушать интересного разговора.

На наших горных заводах огурцы на грядах не поспевали благодаря весенним заморозкам, и этот овощ является для нас осенним гостем, когда его привозили из соседних, более теплых уездов, что случалось только поздней осенью. Привозный огурец был обыкновенно перезрелый, желтый и мятый, с пустотой внутри. У нас дома огурцы выводились в тепличке и в парниках и являлись летом своего рода лакомством. Мои огуречники оказались перекупщиками. Они покупали огурцы в Екатеринбурге, везли их продавать на заводы, причем являлся немалый расчет получить обратную кладь. В данном случае последний расчет не оправдался, и мои огуречники имели обиженный вид промотавшихся людей.

Во всяком положении есть какое-нибудь утешение. Лежа под своею рогожкой, я сделал маленькое окошечко и смотрел на попадавшихся пешеходов, мокрых и по колено в гря-

зи. Ведь им было еще хуже, чем мне. Потом немалым утешением являлись для меня «подорожники», которые мама запрятала в особый узелок. Особенно хороши были пирожки с кишмишом. Я ехал и вспоминал любящие руки, которые позаботились обо мне.

V

На станции «Грань», состоящей всего из нескольких домов, мы простояли почти до самого вечера. Лошади отдохнули и наелись, а мои огуречники продолжали медлить, потому что никак не могли подвести счетов за проданные огурцы. Дело было близко к ссоре, и я качал опасаться, что они возьмут и бросят меня вот здесь на станции. Последняя мысль явилась на том основании, что и я каким-то образом входил в этот же роковой огурцовый счет, и старший брат, Николай, который, собственно, взялся везти меня, уже несколько раз повторял:

— А мне он что, кутейник? Да наплевать, вот и все...

— А два цалковых ты все-таки получишь? И огурцы у тебя были мельче...

— А у тебя трех десятков не хватало до пя-

тисот...

— Да ведь купец не считал мои огурцы, а купил на глаз.

— Мне это все единственно...

А дождь все продолжал идти, мелкий, назойливый, неумолимый, точно все небо превратилось в одно громадное сито, сквозь которое сеялось ненастье. С «Грани» мы выехали только под вечер. Я переменил свою подстилку на сухую, а мокрая рогожка так и осталась мокрой, да и своего верхнего пальто я не мог просушить. Мои огуречники поступили по-спартански — бросили мокрые рогожи, которыми прикрывались, и отдали себя на жертву стихии. Они опять ехали на передней телеге и опять спорили до хрипоты, проклиная проклятого тагильского торгаша, который подвел обоих.

Темнота быстро сгущалась, и мне начало казаться, что и дорога здесь хуже, и лес выше, и опасность увеличивается с каждым шагом вперед, особенно когда лошадь, чтобы выворотить засевшую в грязи телегу, сама делала крутой поворот вбок и, как говорят ямщики, «выхватывала» телегу. На счастье, мало попа-

далось встречных, а то разъезд в темноте каждый раз представлял собой опасность полететь вместе с телегой куда-нибудь в канаву. А тут еще дождь... Время, казалось, остановилось. Меня опять охватило отчаяние. Мне некого было стыдиться, и я горько рыдал, уткнувшись головой в мешок. Опять перед моими глазами проносились картины счастливого детства, вся обстановка родного гнезда, дорогие лица, и я опять повторял свое детское прошлое шаг за шагом, точно заучивал урок. С другой стороны, мне рисовалось грозное будущее, материалом для которого служили рассказы брата и мой личный трехдневный опыт. Да, там впереди ждала бурса, неистовая, мрачная, дикая, о которой я наслышался с раннего детства. Я был уверен, что никогда больше не вернусь в Висим и что пришел мой конец, а моя телега катится в какую-то мрачную бездну, где нет ни солнечного света, ни голубого неба...

Это была вообще ужасная ночь, бесконечная, темная, холодная ночь. Наши телеги ползли по сплошной грязи, как две черепахи, и только мои огуречники не унимались и

спорили всю ночь. Я жадно прислушивался к долетавшим до меня обрывкам фраз и точно хватался за них, чтобы не потерять окончательно чувства действительности. Мне начинало казаться, что вопрос об огурцах действительно сейчас самый важный и от его решения зависит все. Даже наши лошади, по моему мнению, чутко прислушивались к хозяйскому спору и в такт ему иногда очень выразительно фыркали.

Следующею станцией был Невьянский завод, старейший из уральских заводов, и я плохо помню, как мы, наконец, добрались до него. Меня охватила, понятно, мертвая дремота, и я, как сквозь сон, слышал мерные и гулкие удары церковного колокола. Это был праздник успенья, и звонили к заутрени. Кое-где в избах светились огоньки и топились печи. Потом наши телеги точно были проглочены деревянными воротами постоялого двора, запруженного обозными телегами, лошадьми и отчаянно галдевшей ямщиною. На мне, как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была битком набита наро-

дом. Ямщики тоже были мокрые, и на них рубахи дымились от пара. Меня больше всего беспокоила мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой суматохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стряпуха.

— Полезай на печь, там и высохнешь, — научила она, помогая мне втащить мешок на печь. — Ну, и ненастье ударило. Все мокрёшеньки, точно из болота вылезли...

Печь была натоплена жарко, меня сразу охватило благодетельное тепло, и я сейчас же заснул мертвым сном, а проснулся только к раннему ямщичьему обеду, то есть в восемь часов утра, вернее сказать, меня едва разбудила та же стряпуха.

— Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе ничего не достанется.

Когда я поместился к артельному столу, кто-то из ямщиков иронически заметил:

— Ну, это настоящий едок, значит... В артели-то, пожалуй, таких и невыгодно кормить.

Все смеялись, но мне было не до смеха. Кто-то из стариков оговорил зубоскалов, и водворилось молчание. Ели все медленно, со-

лидно, как едят только в артели. Ямщичий аппетит славится своими колоссальными размерами, и больше ямщиков обозных едят только пильщики. На постоялых дворах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и рыба, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан с квасом, в котором по очереди исчезают ямщичьи головы. Я делал то же, что и другие; но кислый мужицкий квас мне не понравился, да и деревянный жбан был такой величины, что я едва его мог держать в руках.

— А ты, миляга, побольше пей кваску, — советовал кто-то из едоков. — Штобы дух заперло.

При отъезде из Невьянского завода я был огорчен неприятным для меня известием, именно, что мои огуречники свернут как раз на половине дороги в свое Аяцкое село, до которого от верхотурского тракта было верст шесть. Причин для такой остановки, было достаточно: «пересобачились кони» от скверной дороги, «хлябало» заднее колесо у перед-

ней телеги, а главное, как мне кажется, мои огуречники хотели закончить свои расчеты в семье. Я боялся опоздать в училище, но делать нечего, приходилось соглашаться. Отдохнув в Невьянском заводе, я уже чувствовал себя бодрее.

До села Аяцкого было верст тридцать, и мы ползли чуть не целый день.

Эта остановка заняла четыре дня и не показалась мне скучной. Дом у моих огуречников оказался хороший, и все хозяйство было поставлено по-настоящему. Уж хорошо было одно то, что мы могли отдохнуть, как следует, а главное — обсушиться. Приехав домой, мои огуречники оказались самыми добродушными и очень гостеприимными людьми. Как потом выяснилось, они были из духовного звания, дети какого-то дьячка, а потом «переписались в мужики». На мой вопрос, как это случилось, старший, Николай, с улыбкой объяснил:

— А я табак любил курить, ну, меня и выгнали из училища, а дома отец выгнал. Ничего, и в мужиках люди живут. Не чужой хлеб едим...

Мне этот ответ очень понравился, и я даже подумал, что мужику лучше жить, чем нашему дьячку Николаю Матвеичу. В самом деле, отчего не сделаться мужиком? Чем больше я раздумывался на эту тему, тем легче мне делалось. Что бы ни было впереди, а мужиком всегда можно сделаться... Я с особенным вниманием осматривал все хозяйство моих мужиков, и мне решительно все нравилось. Изба совсем хорошая, потом всякие хозяйственные пристройки, большой огород, в огороде — своя баня, лошади, коровы, овцы, чего же еще может желать человек? Решительно, хорошо быть мужиком!..

В Аяцком на меня произвело тяжелое и неприятное впечатление только одно, именно — «детский мор». Все село было охвачено эпидемией дизентерии, и я в окна своей избы каждое утро видел, как мужики и бабы тащили под мышкой или на полотенцах маленькие детские гробики. Меня удивляло, что никто не плакал и не убивался, а все относились к своим покойникам с каким-то тупым равнодушием.

— Ангелочки все будут, — объяснила мне

жена старшего брата, Николая. — У большого-то человека сколько грехов накопится, а это всё ребячьи безгрешные душеньки...

VI

От села Аяцкого до Екатеринбурга оставалось семьдесят пять верст, и мы сделали их в двое суток без особенных приключений. Ненастье кончилось, и когда мы въезжали в город, светило яркое солнце. От Висима до города было около двухсот верст, и мне пришлось ехать чуть не две недели. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, а я приехал здоровым и бодрым, чтобы начать новую жизнь.

Николай довез меня до моей будущей квартиры и, вытаскивая из телеги мой мешок, говорил:

— А вот выучишься, человеком будешь... да.

Не могу не сказать здесь, что в моих детских воспоминаниях совсем нет злых и неприятных людей, и я всякий раз с особенным удовольствием уношусь мыслью в далекое прошлое.

С момента, когда Николай водворил мой

мешок в квартире, начался мой школьный период, и я окончательно сделался «отрезанным ломтем».

Дедушка Семен Степаныч

I

Как оказалось, я приехал раньше, чем следовало. До «открытия классов» оставалось еще несколько дней, в пустой ученической квартире мне было решительно нечего делать, и я решил съездить к своему деду Семену Степанычу, который служил дьяконом в селе Горный Щит, до которого от Екатеринбурга было всего шестнадцать верст. Эта поездка к деду явилась для меня громадным утешением, потому что в большом городе я чувствовал свое полное одиночество с особенной яркостью, как случайно забежавший из леса в селение заяц.

Нужно было найти «обратную подводу», в чем я уже напрактиковался, и отправился прямо на хлебный рынок, где останавливались горнощитские мужики. На мое несчастье, как раз такого «обратного» горнощитского мужика не оказалось: нашелся выпивший мужичок из села Макаровского, который

за тридцать копеек согласился сделать крюк верст в шесть.

— Доедем как-нибудь... — повторял он заплетавшимся немного языком.

Торг происходил довольно упорный, причем, сторговавшись за тридцать копеек, я нашел эту сделку настолько выгодной, что решился допустить некоторую роскошь и отправился с своим возницей в обжорный ряд. Никакой русский город, как известно, без обжорного ряда существовать не может, а в Екатеринбурге он особенно бойко торговал, потому что в бойкий город съезжалось много крестьян из соседних деревень, да к этому еще нужно прибавить обозную ямщину. От хлебного рынка до обжорного ряда было рукой подать — перейти одну небольшую улицу. Он помещался под громадным деревянным навесом, из-под которого еще издали можно было расслышать отчаянные вопли торговок, зазывавших покупателей на все лады, а главное, неистово ругавшихся между собой. Под навесом расставлены были длинные деревянные столы, не отличавшиеся особенной чистотой. Прямо на этих столах совершалось и приго-

товление кушанья, и его продажа, и потребление. Тут же торговали ржаным хлебом, сайками и калачами, квасом и сбитнем. Но главная торговля шла около «горячего». В особых котелках и железных печках, подогреваемых жаровнями, варили решительно все, что только может представить себе самое смелое воображение. Тут были и щи, и похлебка из осердья (осердье — легкое с сердцем), и вареная печенка, и студень, и разваренные бычачьи головы, и пирожки, и пельмени. В средине шестидесятых годов, к которым относятся мои воспоминания, в Екатеринбурге все было очень дешево, особенно мясо, благодаря степному скоту, который пригонялся сюда из Оренбургской губернии. На две копейки неприхотливому человеку можно было наесться досыта — на копейку чашка щей, а на другую копейку фунт хлеба. Так и сделал мой возница, а я поддался соблазну и допустил роскошь. Именно, на одну копейку купил два пирожка с мясом, которые назывались «сподобами» и, кажется, нигде больше не приготовляются, как только в екатеринбургском обжорном ряду, — это почти в ладонь величи-

ны дутые пирожки с начинкой из мяса, в которые вливается мерка бульона. Вещь очень вкусная, хотя начинки полагалось и недостаточно. На вторую копейку я съел десяток пельменей, и, как сейчас помню, они были удивительно вкусны. Все столы были заняты, и торговки кричали с таким азартом, что мне сделалось страшно за человека. Конкуренция совершалась у всех на глазах, и я только удивлялся, откуда берутся такие голоса и азарт. Впоследствии мне иногда приходилось бывать в этом обжорном ряду, когда по праздникам мы, школьники, хотели полакомиться «сподобами», и у меня об этом обжорном ряде осталось теплое детское воспоминание, как об обедах с бурлаками на барках и башкирских кушаньях. Конечно, по части чистоты можно пожелать многого, но, как говорят матросские артельные повара, — «за вкус не ручаюсь, а горячо сварю».

Допустив роскошь, я сейчас же раскаялся в своей слабохарактерности. Ведь деньги так и плыли: там пятачок, тут гривенник, — моя касса подвергалась медленному разгрому. Мне было дано шестнадцать рублей, и этих

денег должно было хватить до самого рождества, а я проедался по обжорным рядам... Мне припомнилась история двух дьячков, которую рассказывал отец, и оказалось, что я поступил, как неразумный дьячок. Цену деньгам я знал отлично с раннего детства и понимал, что отец отдает последние гроши на наше воспитание с братом, а там дома еще два маленьких рта.

Мой возница сходил еще раз в кабак, стоявший на хлебной площади у Сплавного моста, и окончательно захмелел.

— Доедем как-нибудь... — повторял он, икая.

Я всячески торопил его и ужасно был рад, когда мы, наконец, тронулись в путь.

Екатеринбург в средине шестидесятых годов еще сохранял следы военного города, потому что он служил центром уральской промышленности, а она находилась на военном положении. Правильные улицы, почти везде тротуары и тумбы, — последние меня очень занимали, потому что у нас в Висиме не было ни одной тумбы. Военная щеголеватость и чистота простирались далеко за черту города,

окаймленного широкой полосой соснового бора, который хранили как зеницу ока. В этом сосновом лесу царила поразительная чистота, точно все было подметено. Происходило это оттого, что деревьев не позволялось рубить и городская беднота подбирала весь валежник, хворост и обломанные сучья.

Дорога из Екатеринбурга в Горный Щит шла именно через этот лес. Впечатление портили только салотопенные заимки, заражавшие воздух ужасным зловонием на целую версту. На границе леса стоял лесной кордон, на котором жили лесные сторожа, ловившие лесоворов. Как доказательство их неусыпной бдительности, на кордоне гнили десятки захваченных у лесоворов бревен. Я проезжал мимо этого кордона десятки раз и никогда не мог понять, для чего отнимали эти бревна, если они, как оказывалось, никому не нужны были.

Мы только что миновали кордон, как чуть не разыгралась настоящая драма. Как раз в лесу была повертка в Макаровку, и мой возница хотел ехать по ней.

— Ведь ты должен везти меня в Горный

Щит? — проговорил я, выхватывая вожжи.

— Вылезай... все равно... — бормотал захмелевший окончательно возница, стараясь вырвать у меня вожжи. — А я домой...

Положение получалось критическое. Дело в том, что я мог бы дойти до Горного Щита и пешком, но со мной был мой дорожный мешок. Опасности создают героев, и я поступил с отчаянной смелостью. Мы сидели посреди телеги на деревянной доске, и я столкнул своего коварного возницу в задок телеги, а пока он барахтался, я ударил лошадь хлыстом, и повертка осталась назади. К моему удивлению, возница нисколько не рассердился, а поместился опять рядом со мной как ни в чем не бывало и, потряхивая головой, повторял:

— Ах, ты... дда-а... Ничего, как-нибудь доедем.

Впоследствии мне приходилось изъездить по Уралу тысячи верст, но это был единственный случай неосуществившегося насилия, хотя уральское население вообще особенной мягкостью характера не отличается.

Я до сих пор с особенным удовольствием вспоминаю эту дорогу в Горный Щит, особен-

но вторую ее половину, которая начинается от села с странным названием — Елисавет. Дорога идет по настоящему сибирскому чернозему, а кругом зеленеют бесконечные пашни. В хорошую погоду ничего не может быть лучше, как езда по такому проселку. Телега катится по мягкой, убитой дорожке среди живых стен ржи, овса, ячменя и пшеницы. Вдали кое-где зелеными шапками выделяются лесные островки, еще дальше синеет линия далекого леса, по речкам и ручьям все запушено вербой и ольхой, — вообще хорошо, и как-то чувствуешь вот этот благодатный чернозем и какую-то особенную свободу, точно и небо здесь выше, чем в горах.

II

Горный Щит — довольно большое село, раскидавшее свои избушки по берегам мелкой речонки, в которой летом буквально было курам по колено. Летосчисление здесь, как и в других деревнях, где появляются соломенные крыши, велось по пожарам. По дороге из Висима до Горного Щита нигде не было ни одной избы с соломенной крышей, а здесь уж чувствовался недостаток в лесе, и приходи-

лось доски заменять соломой. Издали еще виднелась высокая белая каменная колокольня. Церковь в Горном Щиту была новая, но построена по-старинному, в два этажа, — в нижнем помещалась теплая зимняя церковь, а в верхнем — холодная, летняя. Около церкви расстилалась зеленой полянкой большая площадь, а в дальнем ее конце стоял низенький деревянный домик, глядевший на мир божий своими маленькими оконцами с каким-то старческим добродушием. В отличие от наших заводских построек этот уютный домик был крыт не кровельным тесом, а сосновыми драницами. Это и был домик дедушки Семена Степаныча. К воротам вела узенькая тропка, потому что в течение года на колесах подъезжали к нему, может быть, всего раз десять. Калитка держалась на запоре, и нужно было постучать в окно кухни, тогда в нем появлялось немного встревоженное лицо моей прабабушки Феофилы Александровны, восьмидесятилетней старушки. Она недоверчиво оглядывала гостя, дергала веревочку, и калитка открывалась. Мне нравилось устройство двора, содержавшегося в величайшем поряд-

ке. Он делился на три части, — прямо от ворот шел, так сказать, проезжий двор, усыпанный и утрамбованный мелким песком; он упирался в целый ряд деревянных хозяйственных построек — амбары, погреб, сарай. Линия хозяйственных построек занимала весь задний план и кончалась небольшой баней. От ворот шел глухой забор, отделявший вторую часть двора, где была великолепная зеленая полянка, и дедушка косил здесь траву.

— Для чего вам, дедушка, сено, когда у вас нет ни коровы, ни лошади?

— А гости приедут?

Эта заботливость была особенно трогательна, потому что гости, то есть два зятя, приезжали года через два.

Налево за домом шло третье отделение двора, прикрытое деревянным навесом, где хранились дрова и разный хозяйственный скарб, боявшийся воды. В этом отделении висела у столба железная рукомойка (на Урале чаще говорят — рукомойка, а не рукомойник), и нам, малышам, доставляло большое удовольствие умываться здесь по утрам хо-

лодной ключевой водой.

Меня удивляло, что, когда ни приедешь к дедушке, все находится в том же виде, как и десять лет тому назад, точно самое время здесь остановилось, как в заколдованном царстве. Ни одной новой вещи, а все старые и знакомые неизменно стоят на своих местах, до ухватов бабушки у печки и горшков на полках включительно. То же самое во дворе, на погребе, в сарае и в бане. И сами хозяева всегда были дома, как их вещи, а прабабушка Феофила Александровна едва ли в течение года выходила за ворота хотя один раз. Удивительнейшей особенностью маленького дьяконского домика было то, что в нем не было часов, хотя дедушка имел полную возможность иметь и стенные и карманные часы.

— Для чего мне часы, Митус? — объяснял мне дедушка, — он всегда называл меня Митусом. — У меня самые верные часы: видишь две ели, которые растут в огороде отца Вениамина, — вот тебе и часы. Солнышко налево — значит, утро; солнышко над ними — значит, полдень; солнышко направо — значит, вечер. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно,

и починки не требуют...

— А в дождь как?

— В дождь... Ну, тут у меня карманные часы действуют, — объяснял старик, хлопая себя по желудку: — захотел есть — значит, двенадцать часов. Эти часы подороже будут стенных, потому что каждый день требуют и завода и починки...

Одним словом, день здесь еще не дробился на часы, потому и самое время здесь катилось с такой же медленностью, как вода в горнощитской речонке. Там, где-то за горами, долами и лесами, человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту, а здесь, в этом маленьком домике, день прошел, — и слава богу!

И в этот раз, как всегда, дедушка и бабушка были дома, когда я довольно торжественно подъехал на своей телеге к воротам. Выглянуло сморщенное лицо Феофилы Александровны, а из-за ее спины раздался веселый голос дедушки:

— А, Митус!

Покачивавшийся на ногах мужик внес мой мешок в «горницы» и получил стаканчик

водки. Бабушка внимательно осматривала меня с ног до головы и почему-то качала головой. Это была полная старушка, ходившая по комнате с трудом и постоянно охавшая, что не мешало ей работать с утра до ночи и вести все хозяйство. В последние годы, по временам, бралась на побегушки какая-нибудь девчонка лет двенадцати, обязанности которой главным образом заключались в том, чтобы стрелой нестись в амбар или на погреб и приносить оттуда искомое. Но, привыкшая всю жизнь управляться одна, старушка страшно волновалась, и ей все казалось, что девчонка делает все не так. Я лично не особенно долюбливал Феофилу Александровну, потому что она постоянно ворчала, особенно на меня, благодаря неистощимым детским шалостям. К особенностям бабушки принадлежало еще то, что она каждую фразу начинала с междометия «ох!». «Ох, надо печку топить... Ох, надо воду носить!» и т. д. Старушка употребляла еще двойственную форму падежных окончаний, теперь окончательно вышедшую из употребления.

Дедушке Семену Степанычу было всего за

пятьдесят лет. Это был небольшого роста очень крепкий мужчина, фигуру которого портил только как-то смешно округлившийся живот, и мне, когда я был маленьким, казалось, что у него под подрясником спрятан арбуз, вообще что-нибудь круглое. Красивое русское лицо Семена Степаныча, с небольшой русой бородкой и строгими серыми глазами, точно светлело от каждой улыбки. Он оставался неизменно спокойным, с какой-то строгой ласковостью в обращении, и каждое его слово имело вес.

— Ну, Митус, разве мы сегодня в баньку сходим? Хорошо с дороги распарить косточки...

Баня составляла в этом доме первое угощение, в котором дедушка любил принять участие и сам.

— Ох, он хочет есть, — спорила бабушка.

— Что же, сначала закусим, а потом и в баньку, — согласился дедушка.

У старушки была страсть всех кормить, и ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинул-

ся с волчьим аппетитом. Старушка принялась ставить самовар и все охала, поглядывая на меня, а дедушка похаживал по комнате и курил деревянную крестьянскую трубку. Эта последняя составляла предмет нашего жгучего детского любопытства, потому что дедушка не любил раскуривать ее спичкой, а высекал огонь из кремня на кусочек трута. Операция добывания огня этим старинным способом составляла мое любимое удовольствие, хотя стальной плашкой от излишнего усердия я и попадал часто вместо кремня по собственным пальцам. Дым от затлевшегося трута казался мне лучшим из всех ароматов, и я умолял дедушку, чтобы он позволял мне добыть ему огня, когда он, по его выражению, хотел после обеда «позолотить хлеб-соль». Бабушка добывала огонь лучинкой из печки, где загнета сохраняла жар целый день. Были серные спички, которые лежали в печурке, но к ним старушка прибегала только в самых крайних случаях, потому что не умела обращаться с новомодными спичками. Она брала такую спичку за самый конец, вероятно, чтобы не обжечь пальцев, долго и неумело чиркала ею

по коробке и часто кончала тем, что только ломала спичку, не добившись огня.

В этом доме все делалось оригинально, до чаепития включительно. Самовар ставился на стол на особый поднос, чайник ставился на конфорку, и только наливали по одной чашке, как самовар сейчас же доливался, и приходилось ждать, когда он опять вскипит. Сколько выпивали чашек, столько раз ставили и самовар. Процедура довольно мучительная, особенно когда хотелось пить.

— Ох, растопится самовар, — охала старушка. — Какие нынешние самовары делают, только званье, что самовар.

У нас дома дело было совсем иначе, и я напрасно старался доказать бабушке, что самовар никогда не растопится, если его прикрыть крышкой.

— Ох, ничего ты не понимаешь, Митенька!..

Самовар считался новым и на этом основании находился в постоянном подозрении, но ему, вероятно, по меньшей мере было лет тридцать, судя по яйцевидной форме и ручкам.

III

Внутри домик дедушки состоял всего из двух комнат: кухни и собственно горницы. Кухня на одну треть была занята русской печью. Она служила и передней, и столовой, и приемной для не особенно важных гостей. Мне больше всего нравились полати, устроенные по-деревенски, где я любил спать. Обоев тогда не полагалось, и стены прямо по штукатурке окрашивали охрой или медным купоросом. Кухня содержалась в величайшей чистоте, и я не помню, чтобы в ней где-нибудь стояло неизбежное поганое ведро, лохань или что-нибудь подобное, что придает кухням такой непривлекательный вид. Собственно горница была втрое больше кухни и разделена зеленой ширмой на две половины, за ширмой была спальня дедушки и его гардеробная. Обстановка была самая скромная: простая деревянная мебель и маленький письменный столик в виде залавка, который заменял дедушке бюро, письменный стол и несгораемый шкаф. На столе лежали разные церковные деловые книги. Дедушка писал гусиными перьями и засыпал написанное мел-

ким песочком. Полы были крашеные, и по ним шли домотканые дорожки из разноцветного тряпья. Ламп, как и у нас в Висиме, не полагалось, а по вечерам сидели с сальными свечами, что не составляло особенного неудобства, потому что долго «сумерничали» и ложились спать рано.

Главная особенность дедушкина домика от нашего висимского заключалась в том, что в нем не было книг... Были книги богослужебные, разрозненные тома какого-то духовного журнала — и только. О газете не было и помину. Меня это страшно удивляло, и когда я приставал к дедушке с расспросами на эту тему, он с улыбкой отвечал:

— А для чего мне книги?

— Да ведь скучно без книги? А из газет вы бы знали все, что делается на свете...

— Ну, у нас отец Вениамин читает и все расскажет, что случится. Он все у нас знает...

— Ох, все знает, — подтверждала бабушка, почему-то считавшая о. Вениамина самым хитрым человеком на свете. — Ох, он такой уж... Ну, да бог с ним.

Впоследствии я разыскал в кладовой ка-

кие-то необыкновенные синие рукописи, переплетенные в тома. Это были семинарские сочинения дедушки, писанные на латинском языке. Он учился в ту пору, когда в семинариях царил этот язык и семинаристы свободно не только писали, но и вели диспуты по-латыни. Мне делалось как-то невыразимо грустно, когда я вспоминал наш висимский книжный шкаф и своих любимых авторов, и я не мог понять, как дедушку не интересует чтение. Мне казалось, что я очутился в каком-то другом царстве, среди неизвестных людей, которые меня не понимают и которых я в свою очередь не понимаю. Припомнился мне и мой друг Костя, с которым мы читали запоем, — ведь Костя нигде не учился, а дедушка дошел в семинарии до философии, — значит, учился всему. В мою душу закрадывалось сомнение в пользе школьного образования.

Баню дедушка всегда топил сам, и все материалы для этого у него заготовлялись заранее и хранились в величайшем порядке — особо наколотые дрова и растопки. Баня была маленькая и летом заменяла спальню. Чистота в ней соблюдалась идеальная. На этот раз

угощение банькой для меня кончилось довольно печально, — дедушка закрыл трубу раньше времени, и я угорел до обморока. Дедушка вытащил меня в предбанник и едва отлил холодной водой.

— А еще заводский человек, — шутил он, — живете в дыму, а тут угару испугался.

Любимой темой для разговоров со мной у дедушки были поддразнивания заводским дымом. Я отчаянно защищал свой Висим, как самое лучшее место в свете, а дедушка улыбался и повторял:

— Копоть, дым у вас... А у нас — одна благодать. Поля, луга, лес... Воздух чистый. У вас ни одного жаворонка нет...

— А у вас нет гор, настоящих лесов, — спорил я.

— У вас и лес дрянной: ель да осина. А у нас бор... Идешь, как по ковру. Вот я осенью сколько сухих груздей и рыжиков наберу.

— А вы приезжайте в Висим и посмотрите. Сами увидите, что у нас лучше.

— И то собираюсь... Ужо как-нибудь приеду погостить.

Дедушка собирался лет двадцать и не мог

собраться. В этом сказалась чисто русская черта — откладывать день за днем, оправдываясь перед самим собой разными предлогами.

Когда после обеда мы сидели за самоваром, разговор шел именно на тему о преимуществах Горного Щита, причем дедушка огорчил меня до глубины души, когда категорически заявил, что у нас на заводах живут одни разбойники.

— Ох, уж и наши горнощитские мужики хороши, — вступилась бабушка, — такие плуты, такие плуты, что и не выговоришь... Ни одному-то человеку поверить нельзя. Прежде еще бывали и хорошие люди, а нынче... ох, какой отчаянный народ пошел. Все пьяницы, все воры...

Бабушка Феофила Александровна страдала всю жизнь мыслью о погибели мира. К своим современникам относилась она с крайней подозрительностью, начиная с хитрого попа Вениамина и кончая собственным самоваром. Старушке казалось, что сейчас за стенами ее домика начинается бурное море коварства, лжи, обмана и самых губительных страстей.

До известной степени она, вероятно, была и права, потому что за восемьдесят лет своей жизни насмотрелась всего достаточно. Горный Щит в этом отношении являлся особенно больным местом, потому что в качестве подгородного села быстро усваивал плоды городской цивилизации. Мужики пили водку, бабы зорились на городские ситцы, кое-где появились уже самовары, некоторые мужики уходили на легкие городские заработки, бросая свои семьи, и т. д. Бабушка все это видела и душевно скорбела о несовершенствах мира вообще и специальных прегрешениях горнощитских обывателей в особенности. Зло начиналось сейчас же, стоило только выйти за ворота дедушкина дома, и бабушка на этом основании смотрела на мир божий через кухонное окошечко с большой подозрительностью и даже страхом, как смотрит напуганный пассажир из своей каюты в корабельное оконце на разбушевавшийся океан. Мне казалось, что бабушка Феофила Александровна — это старая-старая книга, с пожелтевшими от времени листами, в старинном переплете, и что, несмотря на ее ворчание, она все-таки

добрая, как все старые книги.

Причин бояться всего на свете у бабушки было достаточно, потому что вся ее жизнь прошла в сплошном труде и вечных заботах. Она рано овдовела и осталась с двумя детьми на руках, которых приходилось воспитывать на вдовьи слезы. Ее дочь вышла замуж за дедушку Семена Степаныча и умерла очень рано, оставив двух девочек — мою мать и тетю Александру Семеновну. Феофила Александровна переселилась к зятю, воспитала сирот и выдала замуж. Вообще это была вечная труженица и очень умная женщина. К числу ее особенностей принадлежало то, что она почти в течение шестидесяти лет не ела никогда мяса, — это, кажется, сибирский обычай, чтобы вдовы вели полумонашеский образ жизни. Конечно, в детстве я не понимал и не мог по достоинству оценить своей прабабки и частенько огорчал ее своими шалостями.

— Ох, уж ты, как только ты и жить будешь! — ворчала старушка, качая головой. — Ох, трудно жить на свете, Митенька... Не дай бог, как трудно!..

У детской любви своя география, и она мне

напоминает расходящиеся концентрические круги от брошенного в воду камня. Чем дальше от центра, тем слабее волна, так и детская любовь, которая в редких случаях достигает прадеда или прабабки. А кто были прапрадед и прапрабабка, как они жили, что их радовало и печалило, — все это уже выходит из детского кругозора, и на этой роковой границе замирает детская любовь, как блуждающий огонек. Между прочим, в роду Феофилы Александровны был какой-то швед, вероятно, один из тех пленных шведов, которых царь Петр сослал на Урал для насаждения горного дела. Он прижился на Урале, женился и дал начало целой духовной фамилии Воинсвенских, — воин свенский — воин шведский. Я в детстве часто думал об этом таинственном предке-пленнике, для которого Урал сделался второй родиной, и мне делалось почему-то его жаль.

IV

Жизнь в дедушкином доме точно застыла, как стоит тихо-тихо вода где-нибудь в речном омуте. Один день походил на другой, как походят монеты одного чекана. Не было больше

ни желаний, ни надежд, ни особенных забот, а только стремление сохранить настоящее, как оно есть. Даже не было мысли о наживе и деньгах вообще, в чем так любят обвинять наше духовенство. О деньгах как-то было не принято говорить ни в Висиме, ни в Горном Щиту. Еще в раннем детстве я задумывался над этим отсутствием всяких желаний и никак не мог понять причины. Для сравнения у меня перед глазами был покровский дедушка, Матвей Петрович, тоже дьякон, но человек крайне деятельный. Я его мало знал. Это был высокий, полный, седой, строгий старик с окладистой большой бородой. У него была большая семья, которую поднимать на ноги стоило громадных трудов. Одного дьяконского заработка, конечно, не хватало, и у дедушки была устроена в нижнем этаже его дома громадная столярная мастерская, дававшая возможность пополнять бюджет. Кроме столярного ремесла, Матвей Петрович занимался ювелирным делом. Вообще старик отличался деятельным характером и даже ходил на охоту. Так как дьякону запрещено это удовольствие, то старик брал с собой кого-нибудь

из крестьян, давал ему ружье и так ходил в лес. И село Покровское не походило на Горный Щит, — это было настоящее бойкое сибирское село (Ирбитского уезда), вытянувшееся по тракту на целых семь верст. Зимой, когда открывалась ирбитская ярмарка, Покровское жило самой кипучей жизнью. День и ночь тянулись бесконечные обозы, летели тройки с купцами и т. д. В доме Матвея Петровича было всегда и людно и шумно, особенно когда собиралась вся семья. За стол садилось человек по двенадцати. Была жива и бабушка, но я ее совсем не помню, а помню только красивую и бойкую тетю Душу, красивую девушку, которая наполняла веселой суматохой весь дом. Особенно я любил, когда красавица Душа (уменьшительное от Авдотьи) что-нибудь пела своим светлым девичьим голосом. Дедушка Матвей Петрович был строг, и все его боялись, за исключением одной Души.

Только впоследствии я понял истинную причину разницы в жизни обоих дедушек. Дедушка Семен Степаныч овдовел рано, во второй раз жениться, как дьякон, не мог, и жена унесла из дома половину жизни, а вто-

рую половину унесли дочери, когда вышли замуж. Семен Степаныч и Феофила Александровна просто доживали жизнь, не ожидая ничего в будущем, кроме «тихия и безболезненныя кончины».

В Горном Щиту я прогостил дня три и, между прочим, понял разницу, какая разделяет внуков: мой старший брат Николай, в качестве внучка № 1-й, имел большие преимущества передо мной, как перед вторым сортом. Очевидно, на внучка-первенца было израсходовано больше внимания и любви, а я появился на свет уже так себе. Прямо этого не высказывалось, но это не мешало мне чувствовать существовавшую разницу, и я утешал себя тем, что у себя дома в Висиме между нами никакой разницы не существовало.

— Ну, Митус, пора тебе в город, — заявил дедушка еще с вечера, когда мы ужинали в кухне. — Пора, брат, за науку приниматься...

У меня сжалось сердце от этих слов, — я только что отдохнул от дорожных волнений и своего первого детского горя, а тут приходилось все начинать снова.

Сборы в дорогу у дедушки обыкновенно

начинались с вечера, точно он по меньшей мере готовился совершить экспедицию куда-нибудь к Северному полюсу или в Центральную Африку. Особенно волновалась бабушка.

— Ох, не потеряй ты что-нибудь дорогой-то... — давала она последние советы. — А то в городе-то еще украдут как-нибудь. Ох, какой нынче народ везде... Да в лавку-то к Ивану Михеичу заезжай, а то другие торговцы как раз обманут и подсунут не знаю что.

В Екатеринбурге, как была убеждена старушка, единственным порядочным торговцем был Иван Михеич, старичок с пожелтевшей от старости бородкой, у которого дедушка неизменно закупал все в течение тридцати лет. Дедушка и сам не верил честности остальных торгашей, но бабушка считала необходимым напомнить ему об Иване Михеиче каждый раз, точно он ехал в город в первый раз и не умел отличать правой руки от левой.

Утром мы поднялись чем свет, почему-то пили чай торопливо, точно спешили на поезд. У ворот уже стояла крестьянская телега, а

около нее с кнутиком похаживал мужик, возивший дедушку в город. Он тоже был единственным в своем роде, как Иван Михеич в городе. Укладывая свой багаж в телегу, дедушка пересчитал все вещи несколько раз и наставительно повторял мне:

— Митус, помни: семь мест...

— Ох, непременно к Ивану Михеичу ступай, — наказывала из окна в последний раз Феофила Александровна. — Ох, ни к чему ведь приступу нынче нет... Денег-то не напасешься на торгашей. Ох, кожу с живого человека готовы они снять... Прямо к Ивану Михеичу.

Такой же наказ был дан и кучеру, который в ответ передвигал свой триповый картуз с одного уха на другое, — в Горном Щиту мужики носили триповые картузы, каких потом я нигде больше не встречал. Когда наша телега тронулась, Феофила Александровна долго крестила нас вслед.

Я сидел и молчал, подавленный новой разлукой. Вот за поворотом скрылся и дедушкин домик, и церковь осталась назади, и прогремел под колесами ветхий мостик через речон-

ку, и точно убежали назад последние избенки с соломенными крышами, а впереди поля, поля и поля. Желтели убранные полосы, установленные снопами, чернели пары, начинали зеленеть озими.

— Благодать у нас, — любовался дедушка. — С хлебушком убрались, сена наставили, обсеяли озими, подняли пары, а как ударят заморозки, — начнется молотьба. А у вас в Висиме только и всего, что один дым...

Я больше не спорил, потому что чувствовал себя прескверно. У меня в ушах точно стучали слова бабушки: «Ох, трудно, Митенька, на свете жить»... Я это чувствовал, мое сердце сжималось все сильнее от грустного предчувствия грядущих бед.

Вот и поля кончились. Показался Елисавет. Дедушка показал на низенькое белое каменное здание, приютившееся у самой церкви, и проговорил:

— Вон воронье гнездо...

Он питал какую-то необъяснимую ненависть к монахиням, а в Елисавете они действительно вили себе гнездо. Это было отделение громадного Новодевичьего Тихвинско-

го монастыря в Екатеринбурге. В Елисавете у них была своя заимка, где велось всякое сельское хозяйство. Впоследствии, проезжая осенью рано утром мимо этой монастырской заимки, когда шла молотьба, я вспоминал сравнение дедушки, хотя молотившие хлеб монахини скорее походили на галок, а не на ворон.

В городе мы приехали, конечно, к Ивану Михеичу, который встретил нас фразой, которой он, вероятно, встречал дедушку не меньше тридцати лет:

— Что-то давненько вы не бывали у нас, отец дьякон?

— А денег шальных не было...

Когда были сделаны необходимые закупки, дедушка повел меня в ряды, где жались одна к другой деревянные лавчонки и просто лари. Кажется, старик хотел мне что-то подарить и пробовал прицениться к разным вещицам; но когда торговец назначал цену, он махал рукой и говорил:

— Не по нам, Митус...

«По нам» оказалась только трехкопеечная сайка. Впрочем, я не огорчился этим «не по нам», потому что знал его раньше, а потом

оно значило то же, что у моего отца «прихоти».

Дедушка подвез меня к моей квартире, но сам в квартиру почему-то не пожелал войти. Вероятно, из привычки не соваться в чужие дела. Я долго стоял у ворот, провожая глазами телегу, увозившую последнего родного человека. А в окно квартиры уж выглядывали любопытные детские лица, и слышались голоса:

— Новичка привезли... новичка...

Много прошло лет... Нет на свете ни дедушки Семена Степаныча, ни бабушки Феофилы Александровны, не стало и их уютного домика, — он после их смерти был куплен о. Вениамином и сгорел в один из пожаров, неизменно посещающих Горный Щит. Не стало и сельской тишины, которой так любил похвастаться покойный дедушка, — под самым Горным Щитом были открыты золотые россыпи, и мирное когда-то село пережило все муки охватившей его золотой лихорадки. В довершение всего, по тем борам, где дедушка собирал свои рыжики и грузди, прошла железная дорога, унося с собой последние

остатки тихого жития.

Новичок

I

Детский мир, как я уже сказал, расширяется концентрическими кругами, и самые сильные привязанности помещаются ближе к центру, каким является родное гнездо. Первой ступенью после него являются друзья детства, а следующей за ней — школьные товарищи.

Может быть, недостаток материала в детской душе по части впечатлений внешнего мира, может быть, особая чуткость и восприимчивость этого нежного возраста, — но эти привязанности сохраняются на всю жизнь с особенной яркостью, и понятна та радость, которую испытывают при встрече с друзьями детства и школьными товарищами. Ведь школа — вторая семья, в которой дети срастаются тысячью своих маленьких детских интересов, радостей, забот и огорчений.

С наступлением школьного возраста я много и часто думал о будущих школьных товарищах, причем у меня уже был и готовый материал для некоторых определенных пред-

ставлений. Дома я несколько раз прочитал очерки бурсы Помяловского и знал приблизительно, что меня ожидает в недалеком будущем. У нас в Висиме служил единоверческий священник, о. Николай, типичный старый бурсак, отлично рассказывавший о своем времени. Мой отец, по органическому отвращению к бурсе, никогда не вспоминал о ней. Изредка, — очевидно, в утешение мне, — он говорил:

— Конечно, теперь другое время, новые порядки, а все-таки...

В общем, у меня составилась довольно определенная картина моего школьного будущего, но она совершенно исчезала, когда я начинал думать о будущих товарищах, как об отдельных лицах. Конечно, это будут поповичи, дьяконские, дьячковские и пономарские дети, Петры, Иваны, Николаи, но какие они будут сами по себе? Ведь каждый молодец на свой образец; у каждого, наконец, — своя собственная физиономия, характер и привычки; кто эти незнакомцы, с которыми придется жить в одной комнате, сидеть долгие годы в одном классе, за одной партой? Тут и буду-

щие друзья и будущие враги... Говоря откровенно, я сильно трусил, потому что, хотя рос и бойким мальчиком, но не отличался особенным здоровьем и физической силой. А бурса признавала только один закон — силу и больше ничего не хотела знать. Благодаря своей хилости я вперед знал, что не буду играть никакой особенной роли в кругу своих будущих товарищей, и в моих воспоминаниях об этом школьном периоде я являюсь самым невидным лицом.

Как я уже говорил, дедушка Семен Степаныч оставил меня у ворот моей квартиры, которая помещалась во втором этаже старого полукаменного дома с мезонином. Когда я тащил по двору свой мешок, из открытых окон меня провожали возгласы:

— Новичок приехал... Братцы, новичок!..

Ученическую квартиру держали две старые мещанские девицы, Татьяна Ивановна и Фаина Ивановна. Первая являлась главным ответственным лицом и распорядителем, а вторая заведовала кухней, которая была через двор. Собственно, наша квартира состояла всего из одной комнаты, выходившей на ули-

цу тремя окнами и во двор — двумя; а другая, маленькая комната была только дополнением. В этих двух комнатах помещалось нас шестнадцать человек, причем, конечно, о кроватях и тому подобных удобствах нечего было и думать. Спали все вповалку на полу, так что негде было, как говорится, яблоку упасть.

Но я забегаю вперед.

Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти, — и много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо... Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом — по классам, наконец, — на деревенских и заводских. Новичков было почти половина и, за исключением меня, — всё малыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка.

Дореформенное духовное уездное училище делилось на три двухгодичных курса — низшее, среднее и высшее отделения. Высшеотделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их оказалось человек шесть, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более что оба оказались из Демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом.

— Наш брат мастерко, — говорил рябой мальчик, лет пятнадцати, с какими-то сорочьими глазами, со стоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. — Калены носки, жжены пятки, без подошв сапоги...

Другой, совсем молодой человек, с пробивавшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца и дядю. Ему было лет восемнадцать, и, как я потом узнал, он в каж-

дом отделении проучился по четыре года и теперь приехал в высшее отделение на вторые два года, что в общем составляло двенадцать лет. Первого звали Ермилычем, а второго — Александром Иванычем.

Из деревенских выделялся прежде всего красивый, пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иваныч без церемонии называл «просвирней».

— Много летом-то просвир напекла, просвирня?

Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчанием, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии — Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его, как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины.

Из деревенских стоит еще упомянуть о небольшого роста худеньком мальчике с улыбавшимися постоянно темными глазками. Товарищи по классу называли его «Хвостом», на что он нимало не обижался, потому что это была переходившая из поколения в поколе-

ние кличка всех Павлов Иванычей: Павел Иваныч Хвост, и только. Это был очень милый и крайне добродушный мальчик, который вскоре с квартиры попал в бурсу, потому что у него умер отец и пришлось поступить в так называемые казеннокоштные, как была перекрещена alma mater бурса.

Остается сказать несколько слов об обстановке нашей квартиры, или, вернее, об ее полном отсутствии. В большой комнате стояли небольшой деревянный стол, деревянная скамейка и несколько табуретов; в маленькой комнате — маленький стол, а скамейка заменялась ученическими сундучками.

Александр Иваныч сразу принял меня под свое покровительство и предложил сходить вместе на рынок, чтобы купить мне сундук.

— Мы купим наш тагильский сундук, а не невьянский, — объяснял он в качестве патриота. — Знаешь, такие зеленые, и чтобы замок был со звоном...

Он оказался очень практическим человеком и прочитал мне целую лекцию о достоинствах и недостатках сундуков и теорию нормального сундука. На рынке он оказался чуть

не своим человеком и пальцами указывал мне лавки, где и что можно было купить и где бессовестно надувают доверчивых покупателей. Когда я указал в свою очередь на лавку, где всегда покупал дедушка Семен Степаныч, — Александр Иваныч пришел в негодование и заявил:

— Да этот старичонка — первый мошенник в городе. У него для веса и пряники с песком.

Я был серьезно огорчен за доверчивость дедушки, — единственный честный торговец в Екатеринбурге оказался мошенником.

II

Мы несколько дней еще не ходили в классы, и я успел познакомиться с жизнью нашей квартиры. Мы поднимались в семь часов утра и получали по ломтю белого хлеба. Чаю не полагалось, и исключение представлял один я. Из самовара хозяйки я заваривал свой чайничек и пил один, что было очень неудобно и очень меня стесняло, потому что все остальные съедали свою порцию всухомятку. Раздавала хлеб сама Татьяна Ивановна, очень добрая и ворчливая старушка, причем выясни-

лось, что «любимчикам» она отдавала самые вкусные куски, именно — горбушки, а нелюбимчикам оставалось только завидовать. Впрочем, старушка руководствовалась, главным образом, отсутствием дурных поступков, и поэтому наш квартирный старший, Введенский, проявлявший строптивость и легкомыслие, получал горбушки реже, чем его подчиненные.

— А я ей покажу, старой карге! — ворчал он, придумывая разные школьные каверзы.

Обед был в два часа. Мы гурьбой отправлялись в маленький флигелек, где всецело царила Фаина Ивановна. Все усаживались за один стол. На шестнадцать человек подавались две чашки горячего — щи, лапша, похлебка. Это было очень немного, но повторения не полагалось. Вторым блюдом был картофель или каша, а иногда молоко. Во всяком случае, из-за обеда все выходили полуголодными и захватывали с собой корочки черного хлеба, который потом поджаривали где-нибудь в душнике печки, конечно, пополам с сажей. Особенно плохо доставалось по постным дням, когда на столе появлялись, главным об-

разом, горошница, постные щи из крупы и похлебка из вяленой рыбы или сухих грибов. Вечером, в восемь часов, полагался ужин, уменьшенный по части питательности, сравнительно с обедом, на несколько градусов. У Фаины Ивановны все было рассчитано с математической точностью, и мы голодали порядочно. Мне, после ямщичьих обедов на постоялых дворах, в первый раз приходилось «есть на артели». У всех — аппетит волчий, но никто не торопился с своей ложкой, и наблюдалась известная очередь. И голодали все одинаково... Всего удивительнее было то, что, когда в воскресенье мы купили с Ермилычем бутылку молока и Татьяна Ивановна узнала об этом, — она ворвалась к нам в комнату вся в слезах и с самыми горькими словами:

— Значит, вы голодны, ежели покупаете молоко?! Значит, я вас кормлю плохо?! Вот я до чего дожила... Пятнадцать лет держу квартиру, а такого сраму не видывала. Знаю, как вы и в обжорном ряду проедались... Все, все скажу инспектору!..

Последняя угроза являлась заключением всех позднейших речей Татьяны Ивановны,

но она никогда не приводилась, конечно, в исполнение.

Обе старушки занимали рядом с нашей комнатой две небольшие комнаты, и можно было только удивляться их нервам, как они могли выносить неистовое галденье шестнадцати языков. На мельнице меньше шуму, чем было у нас, когда сейчас же после обеда начиналось отчаянное зубрение вслух, а особенно в «занятные часы», то есть от пяти до восьми часов вечера. И это неизменно изо дня в день, точно пускали в ход какую-то очень сложную машину. А ведь так же отчаянно зубрили наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды, отдавая жестокую дань науке доброго старого времени.

Кроме указанных выше подразделений на классы, давность учения и происхождение, выступило, конечно, основное деление, покрывавшее все остальные, — именно, деление на богатых и бедных. Положим, все за квартиру платили одинаково по четыре с полтиной в месяц, но богатство и бедность сказывались во всех мелочах, начиная с костюмов и кончая учебниками. Я принадле-

жал к богатым, как все поповичи. Но если моему отцу было трудно содержать меня в училище, то каково это доставалось несчастным дьячкам и пономарям, вытягивавшим из себя последние жилы, чтобы дать детям воспитание. У этих бедняков, конечно, и белье было грубое, и костюмчики сшиты домашней рукой, и сапоги чуть не из моржовой кожи. А главную беду, после квартирной платы, составляли учебники, которые приходилось во всяком случае покупать на свои кровные нищенские гроши. Некоторые малыши приехали со старинными учебниками, по которым учились еще деды, — это были почтенные старые латинские грамматики, напечатанные на толстой синей бумаге, переплетенные в кожу или холст и для крепости смазанные по краям маслом. Увы, — эти почтенные ветераны оказались никуда не годными, и приходилось покупать новые учебники, приспособленные к какой-нибудь новой системе. Но нам казалось, что старинные латинские учебники были лучше новых: ведь недаром наши деды и прадеды читали, писали и могли говорить по-латыни.

Бедность особенно ярко выступала, когда дело доходило до привезенных из дому подорожников, разной домашней стряпни и вообще гостинцев. Дьячковские дети привезли какие-то твердые лепешки, не менее твердые крендели, сибирские шаньги — и только. Александр Иваныч, в качестве цивилизованного заводского поповича, относился ко всякой деревенщине с величайшим презрением, как к низшим существам. Самодовольно улыбаясь, он по сту раз в день перебирал смешные, по его мнению, деревенские слова:

— Зепь... ясен колпак... язевый лоб... водерень!

«Ясень колпак» и «язевый лоб», очевидно, были деревенскими поговорками, а что такое *зепь*, — так и осталось для меня неизвестным. Насколько помню, *зепь* обозначало вообще мужика, как сибирское *челдон. Водерень* употреблялось в смысле наших *верно, правильно, действительно*, и я только впоследствии догадался об этимологическом происхождении этого слова, — именно, оно обязано своим появлением давно исчезнувшему обряду наших далеких предков при размежевании земель

клясться дерном. Делалось это, кажется, так: с межи вырезались куски дерна, их клали заинтересованные в деле лица себе на голову и клялись землей, что установленные границы никогда не будут нарушены. Отсюда и получилось водерень: дерно, дернь, в дернь, водерень, то есть клянусь землей.

Александр Иваныч держал себя с большим авторитетом, и, как я заметил, все другие подчинялись ему, за исключением одного Ермилыча, у которого был свой характер и которого, выражаясь по-школьному, нельзя было задевать, задирать и *ячить* — последнее слово исключительно бурсацкого происхождения, и вероятно, переделано из славянского глагола *яти* — брать.

Раз Ермилыч раскрыл свой сундучок, содержавшийся в величайшем порядке, и что-то перебирал из своих пожиток. Александр Иваныч наблюдал за ним и с своей обычной улыбкой спросил:

— А где у тебя капуста?

Вопрос по существу был самого невинного характера; но Ермилыч весь побелел от злости, вскочил и запустил сапогом в Алек-

сандра Иваныча. Очевидно, последний ожидал такого ответа и вовремя отклонился в сторону, — сапог летел прямо к нему в физиономию. Ермилыч стоял с широко раскрытыми глазами и не мог выговорить ни одного слова, потому что весь трясся, и его губы сводила судорога. Дело объяснилось тем, что у Ермилыча была школьная кличка заяц, которой он не переносил и каждый раз приходил в бешенство. Тот же Александр Иваныч при всех совершенно безнаказанно мог называть Введенского — просвирней, а с Ермилычем шутить было опасно.

Прозвища и клички придумываются школьниками в большинстве случаев очень удачно, и у Ермилыча в складе лица действительно было что-то заячье. Так, у нас на квартире оказался ученик среднего отделения, которого называли Шиликуном, потому что у него была какой-то необыкновенной формы голова, конусом, и комическое выражение лица, а шиликун, по народной мифологии, что-то вроде комика при домовом.

Всякая кличка складывается на артели, и в ней появляется известная общественная ха-

рактеристика, по большей части юмористического оттенка. В большинстве случаев она отличается чисто русской меткостью, хотя были и совершенно бессмысленные прозвища. Так, у нас в училище был ученик, которого звали Дышло, потом я знал: Шлифеичку, Жаке, Галуппи. Шлифеичка — деревянная ручка, которой сапожники лощат сапожные ранты; почему это название приклеилось к человеку — трудно объяснить. Одним из остроумных прозвищ было то, которое носил инспектор нашего училища, — его звали Сорочьей Похлебкой. Основанием для этой клички послужила привычка инспектора уверять, что он знает решительно все, что делается в недрах бурсы и на частных квартирах, а по народной поговорке про таких всезнающих людей говорят, что они ели сорочьи яйца.

III

В течение этих первых дней мне пришлось познакомиться с положением настоящего новичка, с той жестокой школой, которую он неизбежно должен пройти. Лично меня такая выучка не коснулась, потому что я поступил сразу в высшее отделение и тем самым попал

в привилегированное положение. Все новички проходят через целый строй горьких к тяжелых испытаний, но alma mater возвела их в настоящую систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь.

В числе новичков, поступивших в низшее отделение, были два очень милых мальчика, двоюродные братья Протасовы. Один был постарше, Павел, второго звали Ваней. Этот последний был еще совеем ребенок, хорошенький, розовый, с детскою полнотой и еще не утраченной наивностью, напоминающей утреннюю росу. Оба были поповичи и притом состоятельные. Они были откуда-то с дальних заводов и во всем отличались от деревенских поповичей — чистенькие, вежливые, воспитанные. Вероятно, именно выдававшаяся культурность и вызвала то, что все как-то сразу отнеслись к ним с скрытой враждебностью. Alma mater бурса желала оставаться са-

ма собой и с бесстрастием опытного хирурга приводила всех к одному общему знаменателю.

— Ябедники, наверно, будут, — решил кто-то вперед.

Ябедник — это опасное слово при драконовских нравах бурсы, и я только впоследствии понял все его громадное значение. Достаточно одного подозрения, чтобы человек буквально погиб, как погибает безвозвратно прокаженный. Бурса тысячью средств доймет его и уничтожит. Спасения не могло быть. Именно с этого рокового подозрения и начались бедствия маленьких новичков. Составился целый заговор. Введенский о чем-то шептался с Ермилычем и Шиликуном, а последний входил в какие-то таинственные сношения с деревенскими новичками. Паша и Ваня, предчувствуя беду, жались один к другому, как пойманные зверьки.

— Два сапога — пара, — сурово заметил Ермилыч, отличавшийся вообще строгостью характера.

Травля началась систематически и, вероятно, по способу, постоянно практиковавше-

муся всей бурсой. Один из деревенских новичков подходит и говорит:

— Давайте поиграем...

Приличные мальчики переглядывались и старались уклониться от любезного предложения.

— Мы не умеем играть... — отвечал Паша, который был побойчее.

— Как не умеете? — удивлялся Шиликун, — Это вы притворяетесь... В городки умеете?

Мальчики переглядываются и, ввиду такого невинного предложения, соглашаются. Игра в городки — самая невинная по существу детская забава. Берутся пять и больше небольших, гладких камушков, которые укладываются в руку. Один камень бросается вверх, и пока он летит, игрок должен из лежащей перед ним кучки взять сначала одни камень, потом другой и т. д., до тех пор, пока все камни будут в горсти. Это и есть «взять городок». Следующий номер, — берут камни по два, потом по три и, наконец, нужно схватить все разом. Игра очень несложная и не требующая особенного искусства. Но бурса ухитри-

лась сделать из нее настоящую пытку.

Паша оказался искуснее деревенского новичка и обыграл его. Тогда его место заменил Шиликун, оказавшийся настоящим мастером своего дела. Другие следили за игрой с замирающим сердцем, а в качестве знатоков дела, решающих, кто остался победителем, присутствовали Александр Иваныч, Введенский и Ермилыч.

— Кончен бал! — провозгласил Ермилыч с какой-то особенной радостью. — Ну, Шиликун, покажи ему, как нужно играть...

Теперь началась расплата за проигранную партию. Паша должен был положить руку ладонью вниз рядом с камушками. Шиликун бросал камень вверх и во время его полета успевал пребольно ущипнуть руку Паши, так что она сейчас же покрылась синяками и вспухла.

— А, что? Славно?!. — с злорадством спрашивал Александр Иваныч, заглядывая в покрасневшее от боли лицо Паши. — Видишь, какой неженка...

Следующим номером было новое истязание: Шиликун при бросании камушков стал

щипать вспухшую руку продолжительнее, сильнее, так что показалась кровь.

— Ай да Шиликун... Молодца!.. — хвалил кто-то.

У бедного Паши показались слезы на глазах, и это его окончательно погубило в глазах всей публики.

— Да он пойдет ябедничать! — крикнул кто-то.

— Закати ему горячих, Шиликун! — поощрял Введенский, приходя в азарт. — Таких плакс надо учить...

Введенский ни с того ни с сего ударил Пашу и задыхавшимся голосом спрашивал:

— Пойдешь ябедничать... а?.. Ведь пойдешь?!

Еще и еще удар, и посыпались удары, что заставило Александра Иваныча удушливо хохотать до слез. Сцена получилась самая отвратительная.

— Я сам кончу! — решил Введенский, занимая место Шиликуна.

Последнее истязание заключалось в том, что один камень за другим клали под руку Паши, и Введенский во время полета камня

бил по ней кулаком.

Извиняюсь перед своими маленькими и большими читателями за описание подобных жестокостей, которым нет счета, как нет границ суровой изобретательности в этом направлении. Мне приходится описывать подобные отвратительные сцены, чтобы дать понятие, что такое была старая жестокая школа, и чтобы нынешние дети поняли и оценили по достоинству высокий гуманизм новой школы. Все вещи познаются по сравнению...

Меня глубоко возмутила эта игра в городки, а больше всего — бессердечное поведение Александра Иваныча, которому стоило сказать одно слово, чтобы прекратить все. Я даже не мог говорить с ним, а обратился к Ермилычу. Но Ермилыч сначала долго не мог понять, что я ему говорил, потом изумился и, наконец, рассердился.

— Тебе надо было дома оставаться да на печи сидеть, — заявил он. — Когда мы были новичками, так не то еще бывало... Это еще цветочки, а ягодки впереди.

— Какие ягодки?

— А такие... Каждого новичка вот как нужно учить. Не в бабки приехали играть... Вырастет большой — сам других будет учить. Александр Иваныч четыре года просидел в низшем отделении, так спроси его, как его учили. Получше нынешнего... Поучат — человеком будет.

Ермилыч говорил вполне убедительно, как человек, который верит в собственную правоту. Меня удивило больше всего то, что Ермилыч терпеть не мог Александра Иваныча и еще только на днях запустил в него сапогом, а теперь вполне согласен с ним. Мало этого, Ермилыч передал наш разговор Александру Иванычу и Введенскому, которые жестоко осмеяли меня. Дальше случилось так, что мое слабое заступничество послужило только во вред новичкам, и Введенский нарочно при мне старался над ними проявлять свою власть старшего, причем Александр Иваныч считал почему-то нужным хохотать до слез.

— Ну-ка, Илья, дай еще горячих! — поощрял он расходившееся начальство. — Да по носу не бей, а то пойдет кровь...

Введенский дрался артистически, как че-

ловек, который сам прошел всю школу битья.

IV

Накануне первых классов в нашей квартире были открыты первые «занятные часы», которые начинались в пять часов и кончались в восемь. Введенский сразу явился в роли строгого начальства. Наше высшее отделение занимало маленькую комнату, а среднее и низшее устроилось в большой. Введенский завел квартирный журнал и заносил каждый день, что в квартире обстояло все благополучно. Ему нравилась каждая мелочь, которая выясняла его положение. В «занятные часы» ученики должны были вставать, когда он что-нибудь спрашивал. Из усердия Введенский сделал самый строгий осмотр книг, тетрадей, карандашей, перьев и всех остальных канцелярских принадлежностей, причем всячески придирался к Паше и Ване, хотя у них все было в порядке.

— Вы у меня смотрите, — пригрозил им Введенский уже решительно без всякого основания.

Увлекшись своей ролью, он хотел проделать то же самое и с нами, но Александр Ива-

ныч показал ему кулак и проговорил:

— А это хочешь? Я тебе покажу такого старшего, что небо с овчинку покажется.

Ермилыч пообещал что-то в том же роде, и Введенский сосредоточил свое внимание на двух низших отделениях, причем произвел настоящий экзамен по всем предметам. Он особенно налег на пение, вероятно, потому, что сам пел хорошо и не сбивался «на глас***а***х».

Из-за этих «глас***о***в» произошла настоящая битва. Введенский поймал именно на них несчастных заводских поповичей. Посыпался целый град ударов.

— Ну, глас четвертый?! — орал Введенский, как, по его мнению, должно было орать всякое настоящее начальство.

Бедному розовому Ване особенно досталось. Со страха он перепутывал все гласы и должен был петь, когда задыхался от слез. Введенскому бело мало самоличного битья, и он устроил настоящее издевательство, заставляя по очереди Пашу и Ваню бить друг друга.

— Вот тебе глас первый! — кричал он, поощряя несчастных детей. — Пашка, валяй его

по второму гласу... Прибавь еще глас третий... Так и поется:

Била меня мати за пя-а-а-тый глас

Все глас***ы***, на которые пелось «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», заучивались, как солдатские сигналы, по особым присловиям, как третий глас. Седьмой глас пелся так: «Летела пташечка по ельничку, напали на нее разбойнички и убили ее». По части этих глас***о***в я оказался слабоватым, и помню, мне почему-то никак не удавался второй глас. Вообще заводские поповичи были в пении гораздо слабее деревенских, которые у себя дома постоянно помогали отцам при церковной службе с раннего детства.

Мне пришлось видеть только часть сцены обучения пению на гласы, потому что Ермилыч затворил двери нашей комнаты и, перемигнувшись с Александром Иванычем, полез в свой сундучок. Оказалось, что в сундучке Ермилыча был устроен потайной ящичек, в котором, как запретный плод, хранился табак. У Александра Иваныча папиросы прята-

лись в корешке латинского словаря.

— Ермилыч, действуй... — шептал Александр Иваныч, становясь на часы к дверям.

Ермилыч поставил табурет на свой сундук, открыл в печи душник и, раскурив крючок, набитый табаком, жадно припал с ним к душнику. Он затягивался до слез, пока не закружилась голова. То же проделал и Александр Иваныч со своей папиросой. Курение табаку подвергалось строгому преследованию со стороны начальства, и курильщики рисковали познакомиться с роковым расчетом в субботу, когда Сорочья Похлебка немилосердно сек лентяев, курильщиков и нарушителей школьной дисциплины вообще. Но страх наказания никого не удерживал, и курили все, кто только хотел. Риск только придавал особую приятность наслаждению табаком. У нас на квартире курили трое, а Введенский еще нюхал табак.

— Ух, хорошо! — повторял Александр Иваныч, глядя кругом осоловелыми глазами. — Только бы не узнал инспектор...

— А зачем он сам курит?..

«Занятные часы» были устроены для млад-

ших отделений, а нам решительно нечего было делать. До ужина времени оставалось много, и Введенский отправился к Татьяне Ивановне просить какую-то таинственную книгу, которую она давала читать только за общее хорошее поведение. Он скоро вернулся с довольно толстым томом, носившим даже снаружи явные признаки самого живого внимания читателей.

— Эге, давай-ка ее сюда, голубушку!.. — торжественно заявлял Александр Иваныч. — Я три раза прочитал ее от доски до доски и знаю, где в ней раки зимуют.

Эта книга был знаменитый «Английский милорд». Сама Татьяна Ивановна по малограмотности, конечно, не читала его и охотно давала читать своим квартирантам. Александр Иваныч отметил на полях ногтем самые интересные для него места, которые и прочел... Я ничего подобного до сих пор не читал и не слыхал и поэтому заявил, что книга гадкая и читать ее совсем не стоит.

— Ничего ты не понимаешь, — авторитетно заявил Александр Иваныч: — «Никласа Медвежью Лапу» читал? Нет? А «Битву рус-

ских с кабардинцами»? Тоже нет? А «Лесного бродягу»? Так о чем мы с тобой будем разговаривать... Одним словом, как есть ничего не понимаешь.

Завязался горячий спор, причем я перечислил целый ряд авторов, имена которых в этой квартире оказались пустым звуком и вызывали смех.

— Гоголь — птица, а не человек, — смеялся Александр Иваныч. — Ты и этого не понимаешь. Утка такая есть дикая, которую зовут гоголем.

Я спорил до слез, защищая своих любимых авторов, но из этого, конечно, ничего не вышло, кроме насмешек и хохота. Поражение было полное, и я никогда еще не испытывал такой кровной обиды. Мне с особенной яркостью представилась картина нашей жизни в Висиме, любимый шкаф с книгами, чтение по вечерам, разговоры о прочитанном... Как это было недавно и как далеко!

V

Знакомство мое с настоящей бурсой произошло только с открытием классов. У меня еще сохранились впечатления первого пре-

бывания в недрах этой бурсы, когда я «убоялся бездны премудрости и возвратился вспять». Помню сцену, которая разыгралась в первый же урок, когда в класс явился грозный инспектор. Это был еще молодой, высокого роста священник с красивым, матовым лицом и целой волной темных вившихся волос. Он ходил какой-то особенной, развалистой походкой и смотрел как-то сразу в лицо тому, с кем говорил. Войдя в класс, он окинул его инспекторским глазом и поманил кого-то пальцем. Из-за парт поднялась взъерошенная фигура. Инспекторский палец продолжал манить, и взъерошенная фигура подошла, остановившись «на приличном расстоянии». Мне кажется, что это фигуральное выражение нигде не было так применимо, как именно в данном случае.

Произошла короткая, но выразительная сцена.

— Курил опять?

— Ей-богу, нет!..

— А, не курил?! Дохни!

Инспектор наклонился, и взъерошенный бурсак дохнул ему прямо в нос.

— Крепчайший табак, — определил инспектор, и взъерошенный субъект как-то разом полетел на пол, точно его сдуло ветром...

Дальше пошло избиение, — таскание за волосы. От волнения инспектор сделался еще бледнее, а темные большие красивые глаза сделались еще больше и темнее. Эта сцена произошла на моих глазах около тридцати лет тому назад, и я до сих пор не могу ее понять. Грозный инспектор совсем не был злым человеком, а только старался исправить неисправимую бурсу... За упорное табакокурение полагалось исключение из духовного училища... Чтобы не губить человека, суровый инспектор прибегал к отеческим мерам и домашним средствам.

Собираясь в первый раз в классы, мы на квартире делали особенные приготовления. Старые ученики отламывали по кусочку от утренней порции белого хлеба и прятали их по карманам. Исключение представляли из себя Александр Иваныч и Ермилыч. Павел Иваныч Хвост объяснил мне, что эти кусочки — дань голодной бурсе. Действительно, когда мы пришли в свой четвертый класс, нас

обступила целая голодная бурсацкая толпа, одетая в какие-то длинные серые пальто. Голод — ужасная вещь, и кто видел взгляд голодного человека, тот никогда его не забудет. Бурсаков было всего человек пятнадцать в нашем классе, но это была сплоченная и организованная толпа. Каждый делал себе свободный выбор из среды квартирных учеников, которые являлись в роли овец «стригущему их безгласных». По совету Павла Иваныча, я, на всякий случай, имел кусок утренней порции, который меня страшно смущал, потому что хотя я и сам был голоден, но с удовольствием отдал бы первому голодному бурсаку.

Произошла такая картина. На меня сразу обратил внимание среднего роста бурсак с какой-то серой физиономией, кажется, присвоенной всем бурсакам. Он в один миг свесил своим взглядом, что я — новичок, трус и жертва для его аппетита.

— Хлеба! — отрывисто проговорил он, протягивая руку. — А то будут чиканцы...

Есть ничтожные, но решительные моменты в жизни каждого человека. Я уже готов был отдать свою дань смельчаку (его прозви-

ще — Тетеря, потому что он имел несчастие обладать длинным носом, — признак, который бурса, вопреки «Брему», относила к разряду куриных), но в этот критический момент на выручку ко мне неожиданно явился другой бурсак, Николай Постников, и проговорил с решительным видом:

— Калю!..

На бурсацком языке слово «калю» имело такое же значение, как на языке полинезийцев слово «табу», то есть кто произнес его, тот и делался неприкосновенным собственником той вещи, над которой было сказано магическое слово.

Мне приходится сделать маленькое отступление. Все воспоминания, хотя они и ведутся в хронологическом порядке, страдают некоторой непоследовательностью. Так и в данном случае я должен вернуться к своему сидению в селе Аяцком, где я случайно познакомился именно с этим Николаем Постниковым, одним из типичнейших бурсаков. Он приходил к моим огуречникам, и мы познакомились. Особенного ничего в этом знакомстве не было, и помню только испытующий и

взвешивающий взгляд старого, опытного бурсака, когда он узнал, что я еду учиться в духовное екатеринбургское училище.

Вероятно, на основании этой случайной встречи Постников и «закалил» меня в свою собственность как данника. Нужно было видеть выражение лица Тетери, когда лакомая добыча ускользнула у него из рук... Потом, когда Тетеря несколько раз пытался отомстить мне, Постников неизменно выручал. Я думаю, что тут дело было не в том кусочке хлеба, который я ежедневно ему приносил, а именно в нашей встрече в Аяцком. Постников любил вспоминать о ней, и у него делалось совершенно другое лицо, когда он говорил:

— А помнишь Аяцкое село? Отличное место... Огуречники-то, с которыми ты ехал, тоже из духовного звания...

Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аяцкое село, как обетованную землю, — это была последняя дань родине. Никакая бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.

В течение первого же дня определился со-

став нашего класса, распавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую — квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.

— Иди сюда, — предложил мне высокий, рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. — Я знал твоего брата...

Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась «Камчатка». Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке — Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.

— Моя фамилия — Хлызов, — рекомендовался товарищ моего брата.

Первый урок был катехизис, и все замер-

ли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:

— Ступай, жалуйся!..

Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я крепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:

— Это мой ножичек... Твой брат взял его у меня на подержание. Одним словом, калю...

Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.

VI

В течение первого же дня я познакомился со всем наличным составом бурсы нашего класса. По наружному виду все бурсаки походили один на другого благодаря однообразному костюму и, точно присвоенным специально бурсе, серым, словно выцветшим лицам

и, — я бы сказал, — голодным волосам... Для того, чтобы последнее выражение было понятнее, приведу пример, именно, волосы выздоравливающих после жестокого тифа. Костюм бурсаков состоял из казинетовых сюртучков и таких же брюк, а шея закрывалась глухим галстуком из сукна. Почему так отчаянно голодала бурса, трудно сказать. У них был и чай утром, и обед, и ужин, конечно, скудные, но казалось бы, что до голода было еще далеко. Главное лишение бурсы заключалось в том, что ее кормили одним ржаным хлебом и белый давался, кажется, только по праздникам. Это лишение являлось именно в нашем училище особенно чувствительным, потому что в шестидесятых годах даже простые крестьяне в Екатеринбургском уезде ели только пшеничный хлеб. Другой причиной этой училищной голодовки, вероятно, служила вообще вся обстановка, при которой бурсе приходилось отбывать свою учебу. Лучшие комнаты были заняты спальнями, устроенными уже совсем не по чину, а день проходил наполовину в классах, а другую половину — в «занятных комнатах». При училище не было

садика, и бурса толкалась на дворе, прямо на глазах у своего начальства. Всего печальнее были для бурсы праздники, когда она бродила по двору, по коридорам, по «занятным комнатам», как «неприкаянная душа».

Бурса всегда голодала, но голодали ведь и мы, квартирные, хотя и находились относительно в лучшем положении.

Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга. Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задирать квартирных и с первого же раза «нарвался» на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:

— Не подходи, — убью!..

— Ну, убивай, — добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.

Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон

действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу...

— Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, — говорил в нос Масталыга.

Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.

Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за своей партой и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и «задирал». Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сгорбленный, худой, с каким-то неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей парты одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стара-

ясь защищать лицо руками. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, — бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.

— Будешь помнить заячьи уши... — хрипло шептал он.

Атрахман был посрамлен. Бурсе сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих первых бойцов. В резерве оставался главный силач — Демьяныч, но он не желал принимать никакого участия в задирании квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирал Демьяныча.

После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решилась выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплочен-

ность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.

— Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..

— Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся... Ай да Галуппи, молодец!..

Галуппи, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: «Так его и надо...» Всего интереснее было то, что Александр Иваныч, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал...

Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои мо-

лодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности... Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила.

Но не все, конечно, бурсаки были буянами и забияками. Среди них были и очень мирные люди. Эти мирные бурсаки являлись каким-то исключением, жалкими париями. Вечно ожесточенная, голодная, воинствующая бурса презирала их от чистого сердца, на том простом основании, что она являлась силой, а эти создания профанировали суровые основы грозной школьной общины. В бурсе ее неписанные уставы, порядки и обычаи передавались из поколения в поколение и блюлись неукоснительно. Бурсак являлся для самого себя человеком обреченным, который только исполнял то, что было выработано веками... Из бурсы выработалось своего рода казачество, та учебная «Сечь», где выживал только сильный и где ценилась только сила. Ведь наши отцы, деды, прадеды и прапрадеды проделывали то же самое.

В первый же учебный день определилась

роль нашей квартиры. Мы оказались очень скромными, настолько скромными, что бурса, на основании своих суровых законов, отнеслась к нам с полным презрением и обложила данью, как побежденную нацию. Три других квартиры тоже оказались скромными, и исключение представляла только одна квартира, на которой жили Хлызов и Патрон. Кстати, с ними вместе жил второй, после Масталыги, великан, которого все называли по отчеству — Кинтильяныч. Это был добродушный человек, костлявый, сгорбленный, с длинными руками, которые точно были привешены к его туловищу плохим мастером и болтались совершенно бессильно. Бурса всевозможно приставала к Кинтильянычу, чтобы вывести его из терпения, но это не удавалось. Среди бурсаков был один, которого называли Демоном, вероятно, за искусство приставать, но и Демон ничего не мог поделать с Кинтильянычем.

Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах — тринадцатилетние мальчики, с одной

стороны, и двадцатилетние парни, с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства.

VII

Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника о. Петра с магистерским крестиком, и инспектора училища о. Константина. Ректор иногда посещал классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем — субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых... Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних

уроков, с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и отправлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.

В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.

Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь, инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:

— А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.

Может быть, эта нелюбовь к инспектору

происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую грозу, — за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.

Остальные учителя отличались самым мирным характером, и я не видал ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них тронул ученика пальцем. Если бурса упорно желала остаться бурсой, то учительский персонал уже не имел ничего общего сравнительно с недавним прошлым. Исключение представлял один учитель пения, соборный протодьякон, которого почему-то называли Детраго. Это был громадный, полный мужчина, лет пятидесяти, с пышной шевелюрой и окладистой бородой. Класс пения служил отдыхом и развлечением, потому что Детраго обращался со всеми запросто. С ним школьничали, — незаметно прицепляли бумажки к спине, задавали самые глупые вопросы и вообще приставали, как мухи.

— А к Пальке хочешь? — добродушно ба-

сил Детраго. — Он тебе даст должный ответ на твой глупый вопрос...

Лично у меня с ним произошло очень неприятное знакомство.

— Ну, на шестой глас, — предложил он мне.

Детраго, как инспектор и ректор, всем говорил «ты».

Я заголосил, но неудачно.

— Ну-ка, ты — на второй глас... — предложил он поправиться.

Опять неудача. Детраго посмотрел на меня своими добродушными большими карими глазами и решил раз навсегда:

— Ну, брат, у тебя голова-то песком набита!..

Мне было очень обидно это слышать, и я пожалел, что не выучился у нашего заводского дьячка Николая Матвеича премудрости пения на гласы.

Бурса особенно любила церковное пение и предавалась ему с большим азартом. В классе было около сорока человек, и все голосили неистово. Вообще спеть что-нибудь духовное составляет слабость мелкого купечества, мел-

ких чиновников и разных мелких служащих, а здесь увлечение пением являлось вполне законным. В этом отношении у бурсы был свой герой, соборный протодьякон, о котором рассказывались целые легенды. Рассказы из протодьяконской жизни являлись любимой темой для всего класса. Источником самых свежих новостей служил живший у него на квартире ученик из нашего класса. Мы отлично знали, как жил протодьякон изо дня в день. Утром он, когда служил с архиереем, надевал сапоги на пробковых подошвах (эта подробность почему-то особенно нравилась бурсе, как что-то необыкновенное), на купеческих именинах говорил такое многолетие, что дребезжали стекла в окнах... Одним словом, протодьякон являлся сказочным героем.

Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии, Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель гре-

ческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, — сейчас вопрос:

— А как перевести эту фразу?

Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.

В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогия стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бур-

сацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по-готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смышленый и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной «мачимачихой». Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.

Были такие артисты по части зубрения, которые отвечали без запинки на вопрос из катехизиса Филарета: «Что сие значит?» — стоило только назвать страницу. Некоторые настолько втягивались в зубрение, что утрачивали всякую способность отвечать «своими

словами». Как сейчас, вижу Александра Иваныча, который, сидя на своем сундуке, потирая руки, закрыв глаза и раскачиваясь, мертвым речитативом зубрит текст из катехизиса и всегда повторит на закуску:

— Сколь легко и естественно любить и почитать родителей, столь же тяжек и непростителен грех непочтения к ним.

Из всех предметов училищного курса мне не давался один «Устав церковной службы», как я его ни зубрил. Происходило это оттого, что я, вероятно, по-настоящему не умел зубрить, а главное, — не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как «препразднство» и «попразднство».

VIII

Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.

Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Вве-

денский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точно копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это — с одной стороны, а с другой — наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлекшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только умеют изменять люди подобного рода, и выдал Вве-

денского с головой.

— Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Просвирню, — поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. — Валяй, но чтобы синяков не было...

И Ермилыч «утешал» Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.

Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, — и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества. Такое

испытание продолжалось недели и месяцы, и можно себе представить душевное состояние мальчика, который, конечно, не мог не заметить, что над ним тяготеет самое страшное обвинение.

Ябедник — одно из тех страшных слов, которым клеймят человека на всю жизнь. Представьте себе, что человек совершенно не виноват, но достаточно уже того, что его могли заподозрить. Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погубило.

— Тебя били, Алферов? — спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.

Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:

— Меня уж давно бьют...

— Очень бьют?

— Нет, хуже чем бьют.

Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Нахо-

дились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой — вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия... Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших признаков побоев.

Я передаю только маленькую часть того, что проделывала бурса при закрытых дверях, и недаром она так боялась ябедников. В течение двухлетнего пребывания в училище я не решался ни разу побывать в гостях даже у знакомых бурсаков и бывал в училище только в классное время. Да, бурса оставалась бурсой, несмотря даже на то, что учителя и училищное начальство были людьми гуманными и просвещенными, за самыми редкими

исключениями, как суровые расправы инспектора.

Да, дни шли медленно и тяжело. В течение какого-нибудь месяца я сделался совсем другим человеком, и мне начинало казаться, что недавнее прошлое отодвинулось далеко-далеко и что я — уже не я. На меня находили минуты самой тяжелой тоски, и я даже старался не думать о милом прошлом, о Висиме, о родных и знакомых. Но нет такого скверного положения, в котором не было бы своего утешения или надежды. У всякого из нас были заведены «деньки», то есть разграфленная записочка с обозначением всех дней до рождества. Каждый день вечером каждый с великой радостью вычеркивал один денек из своей жизни. Только бы дотянуть до рождества, — дальше этого мечты не шли. Даже бурсаки, которым некуда было ехать на рождество, и те имели «деньки» и также вычеркивали один день за другим. Время являлось самым страшным врагом...

У меня тоже были «деньки», и я высчитывал вперед, что мне в течение двух лет придется отбывать около шестисот училищных

дней.

Конец первой трети

I

Первая учебная треть, то есть время до рождества, — самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги... По крайней мере лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей... Время точно остановилось, а последний, четвертый месяц доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло. Прибавьте к этому еще рождественский шестинедельный пост, когда наше питание сводилось на форменную голодовку.

Итак, наши «деньки» убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный путь, давно уже велись душевные разговоры о своих род-

ных углах... У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшиеся во славу родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на рождество. Ведь целые две недели провести дома, а это, как известно, целая вечность.

Последние две недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Иванычем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне — до Висима. Предстояло сделать зимним путем верст полтораста, с двумя ночевками в дороге, но все это были, конечно, пустяки, а только бы ехать домой.

Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши «занятные часы». Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия невменяемого характера. Помню, как Ермилыч все «занятные часы» проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить.

— Ты лучше его отдай мне, — говорил Александр Иваныч в качестве аккуратного человека. — Деньги плачены...

Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новый карандаш, по лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили ды-

хание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная, высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. Да, это был он, тот самый, который делал нас свободными.

Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали, точно пришельца с того света, и засыпали вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам.

— Идите к нам... — тащили его в разные стороны.

Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за «великовозрастие» или «древоголовие». Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские

чувства.

— Ну, здравствуй!.. Учишься?

— Учусь...

Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца.

— А я того... — бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. — Я в духовное правление... с отчетом... ну, значит, того... раньше приехал.

Он присел на один из сундуков и улыбался. Школяры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых, свежих голосов.

После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев — пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ.

На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали, а вечером кто-то нарочно прибегал из

бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость, — именно, что отец нашего Павла Иваныча Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить.

— Что же делать, в бурсу поступишь... — как-то виновато повторял дьячок. — И в бурсе люди живут.

Утешение было плохое.

II

Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье-нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину: вы садитесь обедать. Вы работали целый день — значит, обед вами заработан, и вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть, их несколько? Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы нисколько не виноваты, что эти

дети голодны, и все-таки почувствуете себя как будто виноватым и не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами.

Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, голодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты-бурсака... Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую «занятную», где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланное равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил:

— Гостинцев привезешь?.. а? Привезешь?

Смотри, всю рожу растворожу, зуб на зуб помножу...

Бедный Тетеря, мне было и жаль его и както совестно. Лучше бы уж он ударил меня...

Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большею частью — простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что получила к празднику кое-какие дары, главным образом — по части деревенской живности.

— С заводских-то немного получишь, — проворчала она по нашему адресу. — Хоть бы углей на самовар привезли...

— Ишь, старая корга,[416] чего захотела! — ругался Ермилыч. — Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем... Нашла тоже: углей ей привези.

Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной

радости. Деревенские мужики, в свою очередь, относились к нам, как к живой клади, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город.

Да, все подводы были налицо, и не было только нашей подводы с Александром Иванычем, что повергло нас в молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала... А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу, могли по дороге напасть разбойники или волки, — все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иваныч заявил:

— Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти... Я пойду искать его по постоялым дворам. Некуда ему больше деваться...

Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз. Но это нас не удержало. Мы побежали в Лягушку, как называлась улица, где были постоялые дворы, и сделали обход.

Заблудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии.

— Я этого дурака вот как вздую, — ругался Александр Иваныч, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру.

А в нашей передней на каких-то узлах сидел сгорбленный, худенький мужик с козлиной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор: Илья Бушин, из деревни Захаровой, от которой до Висима всего восемь верст.

На другой день утром мы получили от инспектора отпускные свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором... Даже галки на крышах кричали как-то иначе, и дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались всё удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть, а на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбой и

говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучше и совершеннее на свете были наша дорожная кошевка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совершенство, то это совершенство называлось нашей кошевкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин.

— Ужо надо ребятам гостинцу купить, — говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями.

Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. Ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются...

Илья Бушин тоже, по-видимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой.

— Неужели тебе не холодно, Илья?

— Помилуйте, мы люди привычные... Приедем на станок и обогреемся.

— Понравилось тебе в городе? — спрашивал Александр Иваныч.

— Ничего, хорошо...

Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил:

— Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый, будто в городе-то толсто звонят, да тонко едят...

Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе.

Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин, — благодетель снежок покрыл все уличные недочеты. Наш верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность.

Когда город остался назади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил:

— А ведь я города-то не видал совсем... В

первый раз приехал, думаю, — все высмотрю, да вот с тем и уехал, с чем приехал.

— В другой раз посмотришь...

— И то, видно, придется в другой раз посмотреть. Надо побывать да каменные дома поглядеть. Наш-то Висим как есть весь деревянный...

Наша кошевка довольно бойко катилась по убитой ступеньками трактовой широкой дороге. По сторонам тянулся зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства, когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди — целых две недели счастья...

Как только наша кошевка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил ее, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который

наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой.

— Ах, хорошо!.. — говорил Александр Иваныч, делая жестокую бурсацкую затяжку и закрывая от наслаждения глаза.

III

Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоялым дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошевке, только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме.

По верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы

проехать «прямой дорогой» озерами. Путь сокращался верст на шестьдесят. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом — саженный снег, ели стоят, окутанные белым, снежным саваном, единственный признак жизни — бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками, через которые брезжит синеющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам.

Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотню верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй, на крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольничье гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Та-

ватуй уже ночью и перед самым селеньем встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой.

— Вот как, милые, лопочут, — похвалил Илья. — Это они к палой лошади бегут, которую мы видели отсюда верстах в трех. Учуяли...

Было еще часа два утра, но в некоторых избах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ всё работящий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было не легко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и «молитвовался»:

— Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!..

В окне показывалось женское лицо, и слышался голос:

— Аминь. Кто крещеный?

— А мы с Висиму, заводские... Из городу едем.

— Поезжайте дальше.

Мы напрасно «молитвовались» изб у пяти, пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно,

потому, что Илья сказал:

— Не замерзать же нам на улице... Есть ли на вас крест-то!

Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных мужиков делятся теплыми сенями на две половины: передняя — жилая, а задняя — на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане.

— Эх, чайку бы напиться, — шепнул мне Александр Иваныч, разминая окоченевшие от сидения и мороза ноги. — Только здесь какой самовар... Раскольники чаю не пьют.

Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу, но пришлось бросить...

— Да ты где? — ворчала старуха. — Образа в избе, а ты, проклятый, табачище закурить

хотел...

— Ну, я во дворе покурю...

— Двор спалишь!..

Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось пить. Около печки стояла крашеная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня.

— Да ты в уме ли, табачник?! — кричала она, размахивая ковшом. — Испоганил бы посудину...

У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды, и на случай необходимости держится уже «обмирщившаяся» посудина, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ею прямо из кадочки.

— Вот так угощенье, — ворчал Александр Иваныч, залезая на полати, где было жарко, как в бане. — Это называется: пожалуйте через забор шляпой щей хлебать.

В тепле мы, конечно, заснули как убитые, и тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запряжена и он уж вынес вещи в кошевку.

— Снежок падает, — сообщил он. — Ужо оттеплеет к обеду...

Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось до смерти.

Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала бодро. Раскуривая папиросу, Александр Иваныч рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе.

— Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем полатям... Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку.

Эта школьническая выходка рассмешила Илью до слез, и он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз:

— Так старуха начихается досыта?.. Ну, и ловко... ха-ха!..

Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заводе мне пришлось расстаться с Александром Иванычем, которому нужно было ехать в Тагил.

Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой.

— Ах, лукавый живот! — возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. — Ведь всего-то восемь верстов осталось. Тоже знает, где ее сеном кормят... Ах, лукавый животище.

Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которо-

го горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости... Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота.

Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся семья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил:

— Ну что, отведал бурсацкой науки?

Дорогой мысль о бурсе как-то замерла, заметенная дорожными впечатлениями, а тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать рождество!..

Болезнь

I

Этой главой мне приходится закончить свои воспоминания о первом школьном периоде, когда окончательно завершился полный выпад из семьи и когда я сделался окончательно отрезанным ломтем.

Наступал конец второго учебного года, а с

ним и конец учения в духовном училище, о чем все мы, выпускные, мечтали, как об освобождении из чистилища. Последней гранью этого периода являлась пасха. Все как-то привыкли думать, что после пасхи начнется что-то особенное, решающее всю жизнь, а поэтому все волновались вперед. Я припомнил слова, которые мой отец любил повторять:

— Только, брат, выцарапаться как-нибудь из училища, а в семинарии будет уже совсем другое...

Что будет *«другое»*, — отец не договаривал, а для меня было ясно, как день, что это «другое» — вещь самая хорошая, своего рода золотой век.

На пасху из Екатеринбурга я уезжал на целых две недели в Горный Щит к дедушке, и это одно уже составляло целое событие. Мои заводские однокашники, как Ермилыч и Александр Иваныч, должны были провести это время в квартире, потому что в весеннюю распутицу нечего было и думать о поездке домой. Охваченный радостью провести две недели в домашней обстановке, я с эгоизмом всех счастливых людей совершенно как-то за-

был о своих приятелях и отнесся к их положению равнодушно, точно это так и должно было быть. Все дети, с одной стороны, ужасные эгоисты, а с другой стороны — слишком поддаются всякому новому впечатлению. Одним словом, я уехал из города с легким сердцем, за что и понес соответствующее возмездие. Отправившись на хлебный рынок, я разыскал какого-то горнощитского мужика, который не только взялся меня довезти, но даже отправил одного на своей лошади. Это уже было слишком хорошо: совершенно один, и в моем бесконтрольном распоряжении настоящая живая лошадь, настоящая деревенская телега, а в телеге — мешок с ржаной мукой.

Выехал я из Екатеринбурга настоящим героем, даже немного больше — человеком, которому доверили настоящую живую лошадь, телегу и два пуда муки. Это что-нибудь значит!.. Скверно было только то, что дорога никуда не годилась, особенно при выезде из города, где телега почти плыла по сплошной грязи. Крестьянская лошадка в некоторых пунктах останавливалась с видимым недоумением, как ей быть в данном случае, — мы,

собственно, не ехали, а плыли. Единственная надежда оставалась на то, что когда-нибудь да выедем из благоустроенной городской улицы и будем в поле, где, как на всех проселках в распутицу, по дороге никто не ездит, а пользуется объездами. Я благополучно миновал салотопенные заимки, распространявшие ужаснейшее зловоние чуть не на версту, проехал чудный сосновый бор и начал спускаться широкой луговиной к безыменной речонке, существовавшей только в распутицу специально для неприятностей доверчивым путешественникам. Когда я подъехал к этой речонке, моста не оказалось. Пришлось ехать в «цело»,[417] по колесным следам счастливых предшественников. Моя лошадка бодро спустилась в грязь, увязла по колена и остановилась. Телега завязла в грязь выше ступицы колес. Судорожные усилия лошади вытащить телегу привели только к тому, что моя телега разделилась на две части, — передок с лошадью уехал вперед, а собственно телега осталась в грязи, ткнувшись передней грядкой [418] прямо в грязь. Переломился железный курок... Это было похуже кораблекрушения...

Я как-то совершенно растерялся, тем более что по дороге никого не было видно, а сам я ничего не мог поделать, даже уйти пешком. Пришлось просидеть среди грязи часов пять, пока уже в сумерки наехал возвращавшийся из города горношитский мужичок. Он остановился, осмотрел сломанный курок, покачал головой и проговорил:

— Плохо твое дело, парнюга... Ишь ты, точно зубом перекусило курок.

Потом он начал бранить и дорогу, и сломанный мост, и мастера, который делал курок, и так вообще глупых людей, которые таскаются по таким проклятым проселкам. Кончилось все тем, что он вырубил молодую елку и сделал деревянный курок.

— Да ведь он сломается на первой версте, — заметил я в отчаянии.

— И даже очень просто, — согласился мужичок. — Уж ежели железный курок не вытерпел, так где же деревянному удержаться... А может, и доедешь... Случается...

Телега была поставлена на передки, деревянный курок вставлен на свое место, и мужичок, пожелав мне благополучного пути,

уехал.

— Сегодня у нас баня, тороплюсь домой, — объяснил он. — А ты полегоньку, парнюга, по потным-то местам...

Надвигались уже холодные весенние сумерки, и я рисковал заночевать где-нибудь в «потном месте», то есть в ложке или болоте. Вообще приятного впереди было мало, и я трепетал за каждый шаг вперед, особенно когда приходилось спускаться мимо деревни Елисавет к речке Патрушихе. Было уже темно настолько, что трудно было рассмотреть что-нибудь в десяти шагах, и я предоставил свою судьбу инстинкту своей милой лошадки, которая знала дорогу, конечно, лучше меня. У меня, впрочем, оставался еще расчет на «обратных» горнощитских мужиков, которые могли меня догнать, но, как на грех, ни одна телега меня не догнала. Моя лошадь шла осторожно, нога за ногу, в сомнительных местах останавливалась, фыркала и выбирала то направление, которое ей казалось более удобным.

Ровно в полночь моя телега остановилась у дедушкина домика. Деревянный курок ока-

зался выносливее железного.

— Эх, Митус, а баню-то ты прозевал, — жалел меня дедушка Семен Степаныч.

После пережитых волнений мне, конечно, было не до бани. Я, как говорится, был рад месту...

Две недели отдыха, как всякие каникулы, промелькнули с предательской быстротой. Моя прабабушка Феофила Александровна перед каждым праздником приходила в отчаяние по поводу несовершенства и слабостей рода человеческого, а перед пасхой в особенности, — Горный Щит оказывался самым скверным уголком на всей нашей планете. Со свойственным молодости легкомыслием я не доверял этому старушечьему отчаянию и даже спорил со старушкой, защищая нравственность горнощитских обывателей, но потом мне приходилось убедиться в справедливости Феофилы Александровны.

Дело было так. Как известно, на пасхе и долго после пасхи духовенство обходит весь приход с иконами. Мой отец никогда не позволял мне провожать его в этом случае, но в Горном Щите я с детьми о. Вениамина отпра-

вился по приходу с иконами. То, что пришлось мне увидеть, привело меня почти в отчаяние. Почти все село, за редкими исключениями, поголовно было пьяно. Эти красные, пьяные лица, воспаленные глаза, пьяное, бессвязное бормотанье, когда духовенство переходило из одной избы в другую, оставили во мне тяжелое чувство... Дедушка увидал меня в толпе провожавших иконы, подозвал к себе и, погрозив пальцем, строго сказал:

— Ступай домой, Митус... Тебе тут нечего делать.

II

Пасха пролетела быстро. Я начал уже готовиться к выпускным экзаменам и отчаянно зубрил греческие и латинские слова.

— Что, брат, трусишь? — подшучивал надо мной дедушка...

— Трушу...

В город я вернулся в самом ожесточенном настроении, то есть решил зубрить до потери сознания. Прабабушка снабдила меня, конечно, «подорожниками», то есть разными произведениями своего кулинарного искусства, но на этот раз они меня не интересовали, и я

роздал их почти целиком остававшимся в квартире приятелям. Вообще я чувствовал себя как-то не по себе, разнемогся, как говорят деревенские старухи. А когда начались занятия в училище, я окончательно расхворался. Инспектор осмотрел мой язык, сосчитал пульс, ощупал лоб и только покачал головой.

— Можешь оставаться дома, — решил он. — А там увидим...

При училище была небольшая больничка, но инспектор почему-то не отправил меня туда, — вероятно, потому, что там не было свободного места. Дома, то есть у себя на квартире, мне пришлось лежать в большой комнате, на простой деревянной скамейке с деревянной решетчатой спинкой. Время до обеда проходило в полном одиночестве, когда некому было подать воды, а сейчас после обеда начинался настоящий ад. Кричали, пели, дрались и отчаянно зубрили вслух. Последнее было всего хуже, потому что я про себя повторял все слова и фразы, которыми был насыщен самый воздух. Мне иногда начинало казаться, что я вижу эти слова в форме каких-то букашек, закорючек и фантастических фигур, оса-

ждавших меня, как овод в летний жар.

В болезнях есть что-то таинственное, начиная с их зарождения. Откуда они приходят? Наш ум привык объяснять все разумными причинами, наконец, — известной целью, а тут является что-то бессмысленное, подавляющее и, главное, неопровержимо доказывающее бренность человеческого существования. Был человек, — и вдруг его нет... При болезнях страдает не одно тело, а, главным образом, душа, и нет такого инструмента, каким можно было бы измерить, взвесить и сосчитать эти душевные муки. Это с одной стороны; а с другой — именно в болезнях коренятся глубокие основания душевных перемен. Есть своя философия болезней, до сих пор еще не изученная и не написанная. Сплошь и рядом болезнь является роковой гранью, которая разделяет нашу жизнь на периоды, причем человек до болезни и человек после болезни являются совершенно разными людьми, чего не хотят замечать по психической близорукости. Иногда болезнью завершается благодатный переворот к лучшему, а иногда наоборот...

Воспоминания об этой болезни у меня сохранились с особенной отчетливостью, точно все происходило только вчера. Мои товарищи по квартире отнеслись к моему положению почти безучастно и не обращали на меня внимания, точно я уже не существовал на свете. Все дети страшные эгоисты, и, вероятно, я сам отнесся бы таким же образом к другому больному. Внимательнее других оказался Ермилыч, который иногда подходил ко мне и повторял одну и ту же фразу:

— А ты поел бы...

Вечно голодные мальчики не могли никак себе представить, что человек может не хотеть есть. От Ермилыча я, между прочим, узнал, что у меня «горячка», как в те времена назывались все тифы, и что я могу умереть. Последним обстоятельством особенно огорчалась добрейшая Татьяна Ивановна, потому что это бросало некоторую тень на ее квартиру.

— Уж, кажется, я ли не старалась... — охала она, прикладывая по-старушечьи руку к щеке. — И с чего бы, кажется, быть горячке... Вон все другие здоровы, слава богу.

Жизнь Татьяны Ивановны точно была соткана из разных примет, вещих снов и вечного страха перед какой-то неизвестной бедой, которая вот-вот разразится над ее головой. Моя болезнь была отнесена к числу дурных предзнаменований.

— Ведь только что приехал из Горного Щита, — жаловалась она. — Там бы, у дедушки, и хворал... А то нет, слег здесь. Ох, вот беда-то прикачнулась.

Самым внимательным человеком по отношению ко мне оказался наш инспектор, навещавший меня почти каждый день. Он же и лечил меня гомеопатическими крупинками, как лечил ими своих прихожан и мой отец. Я верил в крупинки на последнем основании и был рад, когда приходил инспектор и заставлял меня показывать язык, считал пульс и т. д. У постели больного это был совсем другой человек, ничего общего не имевший с тем, который наводил трепет даже на отчаянную бурсу. Я слышал его тяжелые шаги, когда он поднимался по лестнице, и знал вперед, что он войдет в шляпе в мою комнату, понюхает воздух, сморщится и скажет подобо-

страстно сопровождавшей его Татьяне Ивановне:

— Что это у вас, матушка, воздух-то какой... Хоть топор вешай. Покурили бы чем-нибудь, что ли...

— Уж, кажется, стараюсь, господин инспектор, — обиженно отвечала старушка. — Даже в другой раз и ночью не спишь, а все думаешь, как бы лучше... Да и то сказать, ведь шестнадцать человек, какой уж тут воздух.

Следовало, конечно, известить о моей болезни дедушку, но этого не сделали, чтобы напрасно не тревожить старика, — все равно он не мог приехать, потому что должен был обходить весь приход с иконами.

Я отлично помню мучившие меня горячечные галлюцинации. Мне представлялось необозримое пространство, матово-белое, как полированная слоновая кость, и на этом поле появились какие-то лохмотья, которые я напрасно старался удалить, чтобы сохранилась сверкавшая белизна общего фона. Это было самое мучительное состояние, и я чувствовал, как начинаю задыхаться, подавленный собственным бессилием. Затем мне казалось, что

я все еду, еду по скверной проселочной дороге, как ехал на пасху, а цель путешествия отодвигалась все дальше и дальше. В каком-то радужном тумане, как в камер-обскуре, выступали знакомые силуэты родных зеленых гор, мелькали дорогие лица и разные предметы домашней обстановки, которые казались живыми. Меня охватывала страстная тоска, и я напрасно рвался к зеленым горам, где так легко дышалось, — дорога казалась тоже живой и не пускала вперед, а даль заслонялась мучительно белой и блестящей поверхностью. Еще больше мучили галлюцинации слуха: кругом меня все зубрило, отчаянно, упорно, озлобленно... Где-то вдали прорывались родные голоса, гудел медный колокольный звон и глухо и торжественно шумел родной зеленый лес. Впечатления настоящего и прошлого переплетались в мучительно пеструю амальгаму, точно какая-то неведомая рука подводила итог всему пережитому. Происходил мучительный душевный перелом, завершавший раннее детство.

В светлые промежутки, когда являлось сознание действительности, все мысли, конеч-

но, летели домой, в родной Висим. Я видел опять отца и мать, всю обстановку родного гнезда и с особенной яркостью сознавал, что я — отрезанный ломоть навсегда и что возврата нет и не может быть... Оставалось идти вперед.

Странно, что окружавшая обстановка почти не действовала на меня, несмотря на ученый ад. Настоящее точно уплывало из сознания, и окружавшие меня шум и гам незаметно сливались с внутренним пожаром.

Последние дни перед кризисом прошли в каком-то тумане, а когда я проснулся от своего забытья, передо мной стоял инспектор и ласково говорил:

— Ну, теперь слава богу... Теперь долго проживешь.

У дверей стояла Татьяна Ивановна и вытирала слезы концом своего рабочего передника.

Казнь Фортунки

I

Как это было давно и как я отчетливо вижу, сквозь мутную полосу десятков лет, это воскресное роковое утро, заливавшее яр-

ким солнечным светом нашу ученическую комнату!

Нужно идти в церковь к обедне, и все чистятся, вынимают лучшее свое платье, причесываются и вообще принимают соответствующий празднику вид. Мой приятель Ермилыч с особенно торжественным видом открывает крышку своего заветного сундука, наклоняется над ним, чтобы достать что-то, — и в ужасе поднимает свое помертвевшее, бледное лицо. Что-то случилось, ужасное и непоправимое, что и меня заставляет невольно содрогнуться, потому что я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и знаю, что он из-за пустяков не побледнеет.

— Ермилыч, голубчик, что такое случилось?

Ко мне повертывается это бледное лицо, покрытое мелкими веснушками, серые глаза смотрят непонимающим, пустым взглядом, а искривленные конвульсией губы шепчут только одно слово:

— Сапоги...

Я наклоняюсь к сундуку Ермилыча и тоже проникаюсь ужасом. Нужно сказать, что этот

сундук представляет собой некоторое художественное целое благодаря царившему в нем порядку. Ермилыч был бедняк, и сундук для него являлся величайшим сокровищем. В нем были разложены в истинно художественном порядке все пожитки Ермилыча: белье, праздничный сюртучок, книги, тетрадки, коробочки с разными редкостями, таинственные свертки и опять коробочки, в которые домовитая бедность укладывала разный хлам. Самое видное место занимали в сундуке Ермилыча новенькие смазные сапоги — его гордость и слабость. Это были первые сапоги, которые Ермилыч мог чистить ваксой, примеривал, сдувал с них каждую пылинку, обтирал платком и надевал только по праздникам. Чтобы купить их, он целый год сколачивал деньги по копейкам и грошам, отказывая себе решительно во всем. Когда Ермилыч доставал их из своего сундука, его лицо светлело и делалось таким добрым. И вдруг... Нет, есть вещи, для описания которых просто недостает подходящих слов, как и в данном случае. Прошло больше тридцати лет, а я и сейчас отчетливо помню, как мне сделалось

страшно: сапоги Ермилыча были налиты водой...

— Это устроил Фортунка! — невольно вырвалось у меня.

Ермилыч молчаливым движением подтвердил мое предположение. Конечно, Фортунка, и никто больше.

Нужно сказать, что наш старший по квартире, Введенский, имел две школьных клички, одна для обыкновенного обихода — Просвирня, а другая в исключительных случаях — Фортунка. Последняя кличка носила собирательный характер и давалась почему-то толстым и пухлым мальчикам, каким был и наш Введенский.

Когда квартира узнала историю с сапогами, то для всех сделалось ясно, что дни Фортунки сочтены, и все смотрели на него, как на человека обреченного. Хихикал и потирал руки один Александр Иваныч, раньше покровительствовавший ему. Самые маленькие школяры понимали, что Ермилыч будет мстить и что Фортунке несдобровать. Сознавал это и сам Фортунка, чувствовавший, что зарвался и что лихая шутка не пройдет ему даром. Од-

ним словом, произошло целое событие, взволновавшее до дна наш маленький мирок. Все шептались по углам и с сожалением поглядывали на Фортунку, прикрывавшего свою трусость самым беспечным видом. Он даже отдувал свои жирные, мясистые щеки и вытягивал красные губы, как человек хорошо пообедавший.

— Ермилыч, ведь ты будешь ему мстить? — спрашивал я.

Ермилыч только улыбался своей больной улыбкой. В его характере была мстительная жилка. Иногда он выжидал целых полгода, чтобы расквитаться с врагом, и, подкараулив удобный случай, производил безжалостную расправу. Лично я очень любил Ермилыча как хорошего товарища. Нас связывало и землячество, и сидение в одном классе, и та дополняющая разница характеров, которая служит основой школьной дружбы. Бывали, конечно, и недоразумения, тоже школьного характера. Один случай меня даже озадачил, и я никак не мог его понять. У меня был такой же сундук, как и у Ермилыча, и я, по его примеру, вел в нем строгий порядок, хотя и не мог

достигнуть желанного совершенства. Между прочим, была у меня коробочка с разной дрянью: пуговицы, перья, карандаши, какие-то обломки и т. д. Сказывалось недавнее детство, утилизировавшее этот материал для своих детских целей. Сейчас этот хлам оставался только по традиции. Раз я разбирал эти сокровища на столе, а Ермилыч смотрел в качестве почтеннейшей публики.

— Вот посмотри, какая пуговица: золотая с орлом...

Не успел я похвастаться, как Ермилыч самым бессовестным образом отнял ее у меня.

— Калю! — заявил он с самым решительным видом.

«Калю» это было своего рода школьное «табу», лозунг царившего права сильного. Как я ни уговаривал Ермилыча, какие трогательные мотивы ни представлял ему, как ни объяснял, что чужие пуговицы отнимать гнусно, он точно окаменел, охваченный какой-то птичьей жадностью. Оставалось или вступить в отчаянную драку, или порвать цепь дружбы, но я предпочел уступить пуговицу, хотя в душе и затаил неприятное чувство. Ме-

ня огорчало до глубины души, что это сделал именно Ермилыч, хороший человек и друг. И все из-за какой-то гадкой пуговицы... Сделай это Фортунка, — ничего в этом особенного не было бы. Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?

Я уже сказал, что в нашей квартире царил самый просвещенный деспотизм, и о праве собственности, а также о праве личной неприкосновенности существовали самые смутные понятия. Особенно неистовствовал в этом случае Фортунка, как вице-деспот, находившийся под непосредственным покровительством Александра Иваныча. В миниатюре наша квартира представляла целое государство с своими традициями, заветами предков и жестокостью диктатора. Школяры-малолетки являлись бесправной массой, ученики старшего класса — привилегированным сословием. Прославленное золотое детство

отличается бессознательной жестокостью, — я говорю о мальчиках.

II

Вся наша квартира с нетерпением ожидала развязки нанесенного Ермилычу оскорбления. Меня этот вопрос особенно касался, потому что для меня Ермилыч был слишком близкий, почти родной человек. Положим, что сапоги давно высохли, были вычищены ваксой десятки раз и заняли свое место в сундуке, но это не мешало оставаться оскорблению в прежней силе.

— Что ты сделаешь с Фортункой? — спрашивал я друга.

Ермилыч сначала скромно отмалчивался, а потом показал тяжелую свинцовую гирьку, обшитую кожей, — это и было орудие казни.

— Да ведь такой гирькой можно и убить, Ермилыч?

— По какому месту бить...

У Ермилыча делалось каждый раз нехорошее лицо, когда он заговаривал о возмездии. Мне вперед делалось страшно за Фортунку.

— Вот будет рекреация, так тогда... — таинственно сообщил Ермилыч, любуясь своей

гирькой, у которой делались разные усовершенствования, как тонкая бечевка, наматывавшаяся на руку.

Стоял конец мая, и погода была прекрасная. Все зеленело и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью. И в то же время близились страшные экзамены с роковой быстротой. У меня навсегда сохранился какой-то панический страх к экзаменам, доходивший до того, что я уже студентом упал на экзамене в обморок. Из всех лотерей экзамены самые рискованные, и я с сожалением смотрю каждой весной на молодежь, которая должна выносить это испытание. Я уже сказал, что погода стояла отличная. Один день шел за другим, как праздники. Сидеть в такие дни в классе было настоящей пыткой. Даже наш суровый инспектор не выдерживал и раз пошутил. Да, пошутил, повергнув весь класс в полное недоумение. Как теперь помню, шел класс латинского языка, самый страшный изо всех, потому что он главным образом доставлял жертвы субботних экзекуций. Сторож поляк Палька только потирал руки, предвкушая удовольствие производить «великолепней-

шие порки». Итак, шел класс латинского языка. Все замерли. Слышно, как муха пролетит, в буквальном смысле слова. Окна отворены, и в них смешанной струей врываются звуки колоколов соседнего женского монастыря, крики уличных разносчиков, дребезжание проезжающих экипажей и вообще уличный шум. Инспектор сидит, согнувшись, в кресле и, по своей привычке, кусает ногти большой холеной белой руки. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоят Александр Иваныч и еще несколько учеников.

— Ну? — лениво протягивает инспектор. — Sat, satis, abunde, affatim?[419]

— Довольно, достаточно... — залпом выстреливает Александр Иваныч вызубренный урок.

— Нет... Ну, ты, рядом стоящий? Sat, satis, abunde, affatim?

— Довольно, достаточно...

— Эх, вы, и этого не знаете! Sat, satis, abunde, affatim значит: «Сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим»...

Весь класс замер от изумления, а потом разразился таким весельем, что, кажется, сме-

ялись самые стены. На другое утро, когда все собрались, волнение продолжалось.

— Надо просить рекреацию!

Выбрана была депутация из лучших учеников, в том числе был и Фортунка. Они заранее приготовили установленное прошение на латинском языке и отправились на квартиру к ректору, находившуюся тут же на дворе. Все училище замерло в ожидании: что-то будет... Все окна, выходившие на двор, были облеплены любопытными школьническими лицами. Наконец, после томительной четверти часа на крылечке ректорского флигеля показалась депутация.

— Рекреация! Рекреация!.. — пронеслось по всему училищу.

Бывают минуты, которые не повторяются в жизни, и именно теперь была такая минута. Двести школьников, измученных тяжелой годовой работой, потеряли голову от радости. Что-то происходило до того невероятное, радостное, хорошее, чудное, как радужный, молодой сон. А впереди — целый день, счастливый, единственный день.

Утро было в самом начале, а там до самого

вечера в лесу, на открытом воздухе, — нет, такие минуты не повторяются. Дальше все идет в каком-то тумане. Все заведение охвачено неописуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в простую телегу, а злодей Палька нагружает эту телегу какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной два сторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня. Милый Палька... Ему сейчас отпускаются все его невольные прегрешения и даже роковые «субботы». Лошадь с телегой и Палькой отправляются вперед, в ту неведомую, счастливую даль, которая грезится нам в каком-то радужном сиянии. Потом мы все выстраиваемся попарно в длинную шеренгу под предводительством старших. Порядок образцовый. Никому и в голову не приходит нарушить его. Господи! да ведь такой день один, один, один!.. Для меня это еще первая рекреация, и воображение рисует что-то необыкновенное, сказочное, невозможное. Каждый чувствует, что он — органическая кровная часть вот этого громадного целого, и как дороги все эти товарищи по классу, по

училищу, по общей учебной каторге. В каком-то тумане наша шеренга марширует по деревянным тротуарам пыльной городской улицы, вызывая зависть всех прохожих. Да, все останавливаются, провожают нас глазами и улыбаются, зараженные нашей радостью. Чиновники, плетущиеся на свою службу, знают, что значит этот молодой поход, и вспоминают свое время; мещане, старушки с лотками, извозчики — все знают и все сочувствуют в душе. Нужно же бедным школярам передохнуть хоть один денек... Вот и предместье, всегда грязное, даже в самую хорошую погоду; вот и городской выгон, и сосновый лесок, и река, и ряд заимок на ней. С трактовой дороги мы сворачиваем влево, переходим по какому-то деревянному мосту через реку и точно приступом берем первую лесистую горку. Как хорошо здесь: сколько света, воздуха, зелени, красок, и все это наше на целый день, которому не будет конца! Ведь перед нами не день, а целая вечность!.. Благословенный, счастливый день! В припадке нежности мы беремся с Ермилычем за руки и так идем всю дорогу, точно боимся, что который-нибудь от радости

вспорхнет и улетит. В задних рядах кто-то затянул популярную в нашем училище старинную песню, которую, вероятно, певали еще наши отцы, путешествуя на рекреации:

«Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь...»

В общем хоре выделялся и молодой, с петушиными перехватами, басок Александра Иваныча, и заливистый тенорок Фортунки, и немного надтреснутый голосок слабогрудого Ермилыча, — это была одна оркестровая нота, поднимавшая всех от земли. Дорога шла по левому высокому берегу реки Исети, путаясь в сосновом бору. Душный и пыльный Екатеринбург остался назади, а впереди уже начинались так называемые «заимки», то есть громадные дачи с разными промышленными заведениями, как салотопни, мыловарни, кожевни. Верстах в пяти от города левый берег выступал в реку красивым лесистым мыском с большой зеленой каймой поемного луга: это и было место нашей рекреации. Издали мелькнул большой костер, разложенный Палькой, а около него уже выросла целая ставка: наша училищная кухня, потом палат-

ка приехавшего из города мелочного торговца, потом столики торговок кислыми щами, калачами и разной другой дрянью, на которую так падки дети. Одним словом, нас ожидало полное великолепие.

— Форменно, — заявил Ермилыч тоном специалиста, издали разглядывая и место, выбранное под рекреацию, и сделанные для нее приготовления.

Скоро весь мысок запестрел детьми, как муравейник, а в лесу гулко отдавались звонкие, молодые голоса. Экзекутор Палька с отечески добродушным видом возился около огня, точно никогда не брал в руки ужасной лозы. Его обступили со всех сторон, дергали за казенную шинель и вообще надоедали самым добросовестным образом, как это умеют делать только одни дети.

— А ну вас! — ворчал Палька, отмахиваясь обеими руками. — Ужо скажу инспектору.

Скоро приехал и сам грозный инспектор в сопровождении нескольких учителей: учитель греческого языка Николай Александрович, учитель русского языка Григорий Александрович, учитель географии и истории Кон-

стантин Михайлович. Первые двое были еще совсем молодые люди, цветущие и веселые, а третий такой болезненный и чахоточный субъект. Они приехали на двух извозчиках, занявших своими экипажами задний план нашего гулянья, что дополняло походную декорацию.

— Здравствуйте, господа! — весело здоровался инспектор. — Ну, сегодня мы будем веселиться напропалую...

О, это был совсем другой человек, какого мы совсем не знали! Неужели он, вот этот самый инспектор, мог устраивать свои «субботы»?.. Нет, все это один блаженный, счастливый сон, какие видишь только в ранней юности. Учителей мы любили, хотя они и донимали нас подчас, как самый веселый учитель греческого языка.

III

Описать рекреацию во всех подробностях довольно трудно, потому что целый летний день прошел в удовольствиях: дети играли, пели, лакомились и опять играли. Тут был и мяч, и свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и «куча мала», и хоровое пение. Ин-

спектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. Шло соревнование по классам, отделениям, по квартирам, причем наша квартира благодаря Александру Иванычу, Фортунке и Ермилычу заняла по части физических упражнений не последнее место. Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял и ученический хор. Одним словом, с одной стороны, были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой — взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью.

Инспектор устал раньше других и лежал на траве. Около него сидел наш квартирант Ваня, любимец всех учителей за свою кротость, хорошие способности и детскую красоту.

— Ну, спой что-нибудь, Ваня, — ласково говорил инспектор. — А то давай вместе споем.

Сначала мальчик стеснялся, а потом тоненьким детским дискантиком спел «Звездочку»:

Звездочка ясная в небе горит,
Душу, прекрасная, в небо манит...

Помню и эту детскую песенку, и детский, чистый голосок, и это хорошенькое, чистое детское личико с такими светлыми, ясными глазами, подернутыми влажной детской синевой: в них еще не остыла теплота раннего детства. Ровно через год Ваня умер у нас на квартире от тифа, умер на том самом диванчике, на котором вылежал я свои шесть недель.

Самый торжественный момент наступил, когда были раскупорены таинственные белые ящики, и в толпу полетели пригоршни дешевых пряников и конфет. Поднялись такой гвалт и свалка, что продолжать это слишком шумное удовольствие не было возможности, и остатки сластей были розданы прямо на руки. У всех радостей — один общий недостаток: они слишком быстро проходят. Наша рекреация пролетела с самой обидной быстротой, и не успели мы даже устать хорошенько, как солнце уже село за зубчатую стену леса, и наступили сумерки. Костер Пальки потухал, палатка торгаша была сложена, торговки

укладывали пустые ящики и бутылки на свои тележки, одним словом, пир был кончен. Раскрасневшиеся, счастливые детские лица все еще были полны веселой энергией, а наступила пора возвращаться домой. Я только теперь вспомнил, что именно сегодня должна была совершиться давно ожидаемая казнь Фортунки, и, конечно, она будет произведена в сумерки, когда пойдем врассыпную домой. У меня даже сжалось сердце от страха... Веселившийся Ермилыч принял угрюмый вид. Фортунка съежился, присмирел и не отходил от Александра Иваныча — он предчувствовал, что его час настал.

— По домам! — скомандовал инспектор.

Все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские «субботы», и зубрение, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день

быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения... Люди были людьми, и только. Новая школа, размерив время учения по минутам, не нашла в своем распоряжении ни одного свободного дня, который могла бы подарить детям. Она формально справедливее и формально гуманнее, но в ней учитель и ученик отделены такой пропастью, через которую не перекинуто ни одного живого мостика. Новая школа не знает отступлений от своих программ, и ученики в ней являются в роли простых цифр известной педагогической комбинации. Дореформенная школа, несмотря на все свои несовершенства, стояла ближе к детскому миру, особенно если бы выкинуть из нее ненужную жестокость педагогов и жестокие школьные традиции.[420]

Итак, мы возвращались в город. Школьники шли вольно, врассыпную, как солдаты после учения. Наша квартира отстала, особенно старшие ученики. Фортунка ни на шаг не отставал от Александра Иваныча, пугливо озираясь на Ермилыча. В одном месте, где дорога

шла лесом, мы совсем отстали, и все как-то таинственно остановились. Александр Иваныч достал папиросу и, раскуривая ее, проговорил с равнодушием скучавшего деспота:

— Ермилыч, а ты позабыл про сапоги?

Этой фразой он выдал Фортунку Ермилычу. Как настоящий восточный деспот, Александр Иваныч хотел потешиться на счет своего фаворита, чтобы закончить счастливый день достойным образом. Фортунка рванулся было, чтобы бежать вперед, но Александр Иваныч его остановил:

— Куда? Воду в сапоги умеешь наливать? Ха-ха... Ермилыч, казни его.

Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожиданное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть.

— Ермилыч, ты что же это? — подзадоривал его Александр Иваныч.

Но Ермилыч уже шагал разбитой походкой

и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой:

— Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..

Это была наша последняя рекреация. Наступила школьная реформа, новые порядки и новые люди.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИЛЬЩИКА

I

Есть вещи, к которым мы настолько привыкаем, что они делаются для нас совсем незаметными и почти не существующими. Разве каждый восход солнца не величайшее чудо, а мы просыпаем его самым бессовестным образом, и только потому, что это совершается каждый день. Нужно только представить себе, что вот это ее замечаемое нами солнце было изобретено кем-нибудь, и его восход показывали бы за деньги, как иллюминацию, электричество и фейерверки, — с каким восторгом мы наслаждались бы этим

изумительным и единственным зрелищем. А каждый зеленый лист растения разве не чудо? Устройство ноги самого несчастного комаришка разве не чудо? Но мы привыкли к этому чуду и не замечаем его, а затем — просто не можем его оценить в достаточной мере, потому что его не понимаем.

Еще меньше внимания мы обращаем на те мелочи и кажущиеся пустяки, которыми с пеленок обставляется вся наша жизнь, как своего рода маяками и таинственными сигналами, в которых часто скрыта какая-то неведомая сила, как в любом самом ничтожном зернышке. Возьмем для примера самую простую детскую игрушку. Все человечество начинает свою жизнь именно с нее, с этой часто бессмысленной и глупой побрякушки или куклы. Как-то даже странно думать, что в свое время и великий Цезарь, и великий Шекспир, и великий Наполеон сосредоточивали все свое внимание на детской игрушке. Это какая-то таинственная стадия в развитии всего человечества, и мне кажется, что все эти детские игрушки — что-то живое, что принимает самое деятельное участие в жизни маленько-

го человечества, приводя к одному знаменателю великих и ничтожных мира сего.

Самый трогательный момент в этом таинственном периоде игрушечного существования наступает тогда, когда ребенок расстается со своими игрушками навсегда, как расстаются со старыми, дорогими друзьями. Ведь лошадка, лишенная всех четырех ног и мочального хвоста, продолжает еще жить даже тогда, когда валяется где-нибудь на чердаке в куче разного другого хлама. У самого умного народа, какой только существовал, именно у римлян, был целый обряд, когда девушка-невеста приносила свои детские игрушки и куклы в жертву какой-то богине. В этом обряде много смысла и какой-то особенно грустной, специально античной поэзии...

В моем детстве игрушек было очень немного, особенно покупных, и, вероятно, поэтому я их помню с особенной отчетливостью. Сколько вещей перезабыто более ценных, сколько лиц просто как-то выпали из памяти, некоторые события претерпели ту же участь, потускнели, точно стерлись и заслонились другими, а память об игрушках сохра-

нилась. Тут и дешевенькая лошадка из папье-маше, и дрыгавший ногами раскрашенный паяц, и Сергиевская лавра, и целый ряд особенно дорогих картинок, и картонные домики, — все это вижу, как сейчас. Но лучшую игрушку составлял деревянный пильщик, которого время от времени устраивал наш кучер, хохол Яков. Пильщик вырезался довольно грубо из куска дерева, в руках он держал деревянную пилу и, поставленный на край большого стола в кухне, начинал мерно раскачиваться. Эта мужицкая игрушка производила самое сильное впечатление, потому что двигалась, а движение — синоним жизни. Как живое существо, деревянный пильщик подвергался всем последствиям своего возраста, пока не кончал полным разрушением, то есть терял пилу, руки, ноги и голову. Хохол Яков был упрям и ленив, и заставить его сделать другого пильщика составляло немалый труд.

— Яков, голубчик, миленький, устрой другого пильщика...

— А ну вас, — равнодушно отвечал Яков.

Но дети в своих детских делах не менее на-

стойчивы, чем большие, и через некоторое время, поломавшись над нами вдоволь, Яков уступал. Самое скверное, когда Яков начинал бесконечную сказку про белого бычка:

— Ты говоришь: «устрой пильщика», я говорю: «устрой пильщика», а не сказать ли вам сказку про зеленого бычка?

— Яков, пожалуйста...

— Ты говоришь: «Яков, пожалуйста», я говорю: «Яков, пожалуйста», а не сказать ли вам сказку про синего бычка?

В конце концов второй пильщик все-таки появлялся и оказывался ничем ее хуже своего предшественника.

Нужно сказать, что в семье у нас в это время не было девочек, и поэтому не было и настоящей детской куклы, представляющей, по моему мнению, игрушку всех игрушек. От карточных домиков, паяцев, пильщиков и картинок мы сразу как-то перешли к играм в бабки, в шарик, в лошадки, к разным самострелкам и пастушьим хлыстам. Поэзия домашних игрушек отлетала с наступлением весны и возвращалась только глубокой осенью, когда на улицу нельзя было показать но-

са. К началу школьного возраста у меня явился друг Костя, сын одного из заводских служащих. Мальчик отличался веселым характером и великой изобретательностью по части сооружения новых игрушек, в чем заключалась особенная прелесть, потому что явилась возможность делать игрушки самим, не прибегая к помощи упрямого Якова. Пошли в ход всевозможные материалы: картон, дерево, цветная бумага, старые жестянки, кожа и краски. Мы работали вместе, но я никогда не мог достичь совершенства Кости по отделу клеения домиков и коробок, а предпочитал более грубые работы на дереве и железе. Верхом нашего искусства был деревянный пароход, на котором мы путешествовали вокруг света. Команда состояла из деревянных матросов, у которых благодаря особенному старанию с нашей стороны получались какие-то зверские лица. В носу парохода помещалась деревянная пушка, которая много помогала нам в борьбе с людоедами и жестокими дикарями вообще. Происходили удивительно блестящие сражения, когда неприятель бежал от нас тысячами. Все это происходило в присут-

ствии таких благородных свидетелей, как наш кучер Яков, авторитет которого в военном деле не подлежал ни малейшему сомнению. Вообще мнением кучера Якова мы дорожили по всем вопросам и непременно требовали его одобрения.

— А что же, хорошо, — говорил обыкновенно Яков, и мы успокаивались.

Нужно сказать, что одобрение Якова находилось в прямой зависимости от листов бумаги, которые мы ему дарили на «цигарки». Яков удивительно искусно свертывал из бумаги крючок, известный под названием «козьей ножки», набивал его злейшей махоркой и предавался специально кучерскому far niente.[421] В воспитании благородного российского юношества кучера имеют гораздо больше значения, чем думают господа педагоги. Остальная мужская прислуга как-то теряется в детском обиходе, а кучер всегда остается на недосягаемой высоте и сохраняет свой авторитет неизменно.

Детская фантазия неистощима и реализуется в тысяче тех мелочей, какие для взрослых людей остаются незаметными пустяка-

ми. Детские руки используют всякий обрывок веревки, осколки разбитой чашки, обрезки бумаги, попавшийся на глаза пестрый камушек и вообще всякий хлам и отбросы, причем получаются удивительные превращения, точно дерево, камень и все эти обрезки и обломки оживают! Детское воображение из каждой вещи делает игрушку, и каждый ребенок в своей неугомонной созидающей и разрушающей работе повторяет многомиллионный опыт своих предшественников. Интересна именно эта детская игрушка, которую смастерил ребенок сам, интересна, несмотря на все недочеты материала и техники, а покупная, самая дорогая игрушка является только материалом для новых комбинаций.

II

Как теперь, помню этот роковой день, когда к нашему дому подкатил троечный экипаж. В экипаже сидел наш благочинный о. Алексей, очень красивый и представительный седой старик с окладистой бородой, придававшей ему вид старинного московского боярина. Рядом с ним в экипаже сидел худенький мальчик лет двенадцати, стрижен-

ный под гребенку, с острым носиком и в мягкой пуховой шляпе. Появление гостей в нашем доме составляло всегда некоторое событие, а тут еще приехало в некотором роде начальство. О. Алексей был очень хороший, добрый и неизменно веселый человек; его все любили, но, тем не менее, в нашем доме поднялся страшный переполох. Мое внимание, конечно, сосредоточивалось главным образом на маленьком поповиче, которого я видел в первый раз. Он быстро выскочил из экипажа, подбежал ко мне и проговорил:

— Ну, здравствуй... Тебя как зовут? А меня Леней...

— Вот что, милый друг, — говорил о. Алексей, вылезая из экипажа с большим трудом. — Ты смотри, того...

— Я, папочка, не буду шалить...

— Знаю, знаю... А только я тебе вперед говорю. Понимаешь?

Леня только засмеялся и побежал в комнаты. Его развязность несколько меня удивила, и мне было неприятно, что он так себя ведет. Маленький гость обежал все комнаты, выскочил через окно прямо в сад, по пути бросил

палкой в кошку и исчез в огороде, прыгая по грядам, как козел.

— Леня, Леня! — кричал о. Алексей. — Ах, господи, вот человек навяжется!.. Леня!

Когда я побежал в огород, мальчик уже возвращался, откусывая на ходу только что сорванный в теплице огурец. В другой руке у него была целая охапка всякой зелени: вырванный с корнем куст гороха, несколько реп, пучок бобов, морковь. Мне сделалось даже жутко, когда я увидел, как Леня ел огурец, выплевывая зеленую кожурку, а потом бросил его на крышу. Нужно сказать, что в горах, где засел наш завод, огурцы составляли предмет большой редкости и выводились только в теплице и парниках. В нашей теплице все огурцы были на счету, и сорванный Леней как раз составлял единственный спелый экземпляр, который оставлялся в теплице «на случай гостей».

— Ах, Леня, Леня, разве можно так? — ласково журил о. Алексей своего баловня. — У тебя еще живот разболится...

Но Леня, разбросав свою добычу, уже был на черемухе, и только было слышно, как он

безжалостно ломает сучья, чтобы достать еще не поспевшую ягоду. Одним словом, это был настоящий мальчик-озорник, избалованный отцом до последней степени. Пока готовился обед, он успел сбегать к жившему рядом единоверческому священнику и бросил кирпичом в дверь передней, потом забрался на крышу, причем чуть не свалился, побывал на сеновале, в курятнике, на погребе, в бане и везде что-нибудь ломал и портил.

Такого отчаянного шалуна мне приходилось видеть еще в первый раз, и во мне накоплялось по отношению к нему затаенное чувство злобы. В нашей скромной семье ничего подобного еще не было видано. Но главное испытание было еще впереди, что я смутно уже предчувствовал. Обыскав весь дом, Леня не мог найти только заветного уголка, где мы с Костей поместили наши игрушки на летнем положении. В уголке под навесом сарая из досок была устроена «избушка», а в ней помещались все наши сокровища. Сейчас после обеда Леня быстро исчез, и я бросился его отыскивать. Мои предчувствия оправдались: он был в нашей избушке.

— Ты... ты... ты что здесь делаешь? — спрашивал я, задыхаясь от волнения.

— А это что такое? — спрашивал Леня, рассматривая пильщика.

— Пильщик... Он умеет пилить.

Я показал работу своего любимца, но это не произвело никакого эффекта и вызвало только хохот Лени. Затем он быстро обломал пильщику руки и ноги и бросил. Я совершенно растерялся и, вероятно, имел очень глупый вид, потому что Леня продолжал хохотать. Следующая очередь наступила за нашим пароходом. Сорванец бросил его на пол и принялся топтать ногами, продолжая хохотать.

— Ты... ты!.. — крикнул я, чувствуя, как все у меня потемнело в глазах.

— Я... я... я!.. — ответил Леня, показывая язык.

В тот же момент я бросился на него, и мы молча покатились по полу. Произошла самая отчаянная драка. Леня уже начинал было меня одолевать, как мне под руку попался сломанный пильщик и помог в борьбе. Несколько ударов по лицу, побежавшая из носу

кровь — и все было кончено. Я остался в избушке среди дорогих развалин, а Леня, весь окровавленный, бросился в комнаты. Не было сомнения, что он побежал жаловаться и что моя победа обойдется мне дорого.

В полном отчаянии я убежал в сад и решил, что больше не вернусь домой. Леня, конечно, был неправ, но это еще не значило, что нужно было поднять такую отчаянную драку. Из своей засады я видел, что в нашем доме происходит большая суматоха, и с замирающим сердцем ждал, что вот-вот раскроется окно в сад и отец позовет меня на расправу. А в доме происходило следующее. Весь окровавленный, Леня, конечно, произвел эффект, и о. Алексей страшно перепугался. Но шалун и не думал жаловаться на меня, а объяснил все тем, что упал с лестницы. Его вымыли, и тем все дело кончилось. Через полчаса он уже разыскивал меня, и когда нашел, то проговорил самым дружелюбным образом:

— Ну, давай помиримся... Нехорошо сердиться.

— А ты зачем наши игрушки ломаешь?

— Игрушки? Скажите, какой ребеночек... У

меня тоже были игрушки, а теперь я совсем большой! В игрушки играют только дети...

Это объяснение огорчило меня не меньше потери любимых игрушек. В душе мелькнул призрак той гнетущей пустоты, которую оставляет после себя потеря любимого человека.

На другой день о. Алексей уехал домой. Леня, сидя уже в экипаже, кричал мне:

— А ты приезжай к нам в гости... У меня есть настоящее ружье, которое стреляет настоящим порохом.

Когда вечером пришел Костя, я, конечно, рассказал ему под секретом о всем случившемся, причем немного приукрасил собственную храбрость и некоторые обстоятельства битвы.

— Что же, мы поправим пароход и сделаем нового пильщика, — думал вслух мой друг.

Но тут я вспомнил роковое объяснение Лени относительно игрушек.

— И все-таки поправим... — упрямо повторил Костя.

Но поправки не последовало. Изувеченного пильщика мы торжественно похоронили

в нашем саду, и мне даже сейчас жаль этого скромного и молчаливого труженика, вместе с которым похоронено было и все раннее детство, освещенное и согретое детскими иллюзиями.

О КНИГЕ

Книжка с картинками

Habent sua fata libelli.[422]

I

В снах, как принято думать, нет никакой логики; но, как мне кажется, это ошибочно, — логика должна быть, но только мы ее не знаем. Может быть, это логика какого-нибудь иного, высшего порядка.

Сны не только существуют, но и сильно действуют на нашу душу. Область нашей воли здесь кончается, и мы смутно предчувствуем границы какого-то иного, неведомого нам мира.

На меня, например, самое сильное впечатление производят сны, в которых поднимается далекое детство и в неясном тумане встают уже сейчас несуществующие лица, тем более

дорогие, как все безвозвратно утраченное. Я долго не могу проснуться от такого сна и долго вижу живыми тех, кто давно уже в могиле. И какие всё милые, дорогие лица! Кажется, чего бы ни дал, чтобы хоть издали взглянуть на них, услышать знакомый голос, пожать их руки и еще раз вернуться к далекому-далекому прошлому. Мне начинает казаться, что эти молчаливые тени чего-то требуют от меня. Ведь я столько обязан этим бесконечно дорогим для меня людям...

Но в радужной перспективе детских воспоминаний живыми являются не одни люди, а и те неодушевленные предметы, которые так или иначе были связаны с маленькой жизнью начинающего маленького человека. И сейчас я думаю о них, как о живых существах, снова переживая впечатления и ощущения далекого детства.

В этих немых участниках детской жизни на первом плане, конечно, стоит детская книжка с картинками... Это была та живая нить, которая выводила из детской комнаты и соединяла с остальным миром. Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-

то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ.

Здесь мне приходится сделать небольшое отступление, именно по поводу современных детей, у которых приходится сплошь и рядом наблюдать полное неуважение к книге. Растрепанные переплеты, следы грязных пальцев, загнутые утлы листов, всевозможные каракули на полях — одним словом, в результате получается книга-калека. Может быть, здесь виноваты большие, которые подают живой пример своим детям. Спросите каждого библиотекаря, как его сердце обливается кровью, когда у него на глазах совершенно новая книга превращается в грязную тряпку.

Кто пишет на полях нелепые замечания? Кто и для какой цели вырывает из средины целые страницы? Вообще кому нужно увечить книгу и безобразить ее? Особенно, конечно, страдают рисунки. В лучшем случае их вырывают «с мясом», а в худшем — портят пером, карандашом и красками. Тут даже не простое неуважение к книге, а какое-то злобное отношение к ней. Трудно понять причины всего этого, и можно допустить только одно объяснение, именно, что нынче выходит слишком много книг, они значительно дешевле и как будто потеряли настоящую цену среди других предметов домашнего обихода. У нашего поколения, которое помнит дорогую книгу, сохранилось особенное уважение к ней, как к предмету высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать таланта и святого труда.

II

Как сейчас вижу старый деревянный дом, глядевший на площадь пятью большими окнами. Он был замечателен тем, что с одной стороны окна выходили в Европу, а с другой — в Азию. Водораздел Уральских гор нахо-

дился всего в четырнадцати верстах.

— Вон те горы уже в Азии, — объяснял мне отец, показывая на громоздившиеся к горизонту силуэты далеких гор. — Мы живем на самой границе...

В этой «границе» заключалось для меня что-то особенно таинственное, разделявшее два совершенно несоизмеримых мира. На востоке горы были выше и красивее, но я любил больше запад, который совершенно прозаически заслонялся невысокой горкой Кокурниковой. В детстве я любил подолгу сидеть у окна и смотреть на эту гору. Мне казалось иногда, что она точно сознательно загораживала собой все те чудеса, которые мерещились детскому воображению на таинственном, далеком западе. Ведь все шло оттуда, с запада, начиная с первой детской книжки с картинками... Восток не давал ничего, и в детской душе просыпалась, росла и назревала таинственная тяга именно на запад. Кстати, наша угловая комната, носившая название чайной, хотя в ней и не пили чая, выходила окном на запад и заключала в себе заветный ключ к этому западу, и я даже сейчас думаю о ней,

как думают о живом человеке, с которым связаны дорогие воспоминания.

Душой этой чайной, если можно так выразиться, являлся книжный шкаф. В нем, как в электрической батарее, сосредоточилась неиссякаемая, таинственная могучая сила, вызвавшая первое брожение детских мыслей. И этот шкаф мне кажется тоже живым существом. Его появление у нас составляло целое событие.

Мой отец, небогатый заводский священник, страстно любил книги и затрачивал на них последние гроши. Но ведь для книг нужен шкаф, а это вещь слишком дорогая, да, кроме того, в нашем маленьком заводе не было и такого столяра, который сумел бы его сделать. Пришлось шкаф заказать в соседнем Тагильском заводе, составлявшем главный центр округа Демидовских заводов. Когда шкаф был сделан, его нужно было привезти, а это тоже дело нелегкое. Помню, как мы ждали несколько недель, прежде чем подвернулась подходящая оказия. Его привезли зимой, вечером, в порожнем угольном коробе. Это было уже настоящее торжество. В детстве я не

знал другой вещи более красивой. Представьте себе две тумбы, на них письменный стол, на нем две маленьких тумбы, а на них уже самый шкаф с стеклянными дверками. Выкрашен он был в коричневую краску и покрыт лаком, который, к общему нашему огорчению, скоро растрескался и облупился благодаря плутовству мастера, пожалевшего масла на краску. Но этот недостаток нисколько не мешал нашему книжному шкафу быть самой замечательной вещью в свете — особенно когда на его полках разместились переплетенные томики сочинений Гоголя, Карамзина, Некрасова, Кольцова, Пушкина и многих других авторов.

— Это наши лучшие друзья, — любил повторять отец, указывая на книги. — И какие дорогие друзья... Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать, потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал. Каждая книга пройдет через тысячи рук, прежде чем встанет на полочку нашего шкафа.

Все это происходило в самом конце пяти-

десятых годов, когда в уральской глуши не было еще и помину о железных дорогах и телеграфах, а почта приходила с оказией. Не было тогда самых простых удобств, которых мы сейчас даже не замечаем, как например, самая обыкновенная керосиновая лампа. По вечерам сидели с сальными свечами, которые нужно было постоянно «снимать», то есть снимать нагар со светильни. Счет шел еще на ассигнации, и тридцать копеек считались за рубль пять копеек. Самовары и ситцы составляли привилегию только богатых людей. Газеты назывались ведомостями, иллюстрированные издания почти отсутствовали, за исключением двух-трех, да и то с такими аляповатыми картинками, каких не решатся сейчас поместить в самых дешевых книжонках. Одним словом, книга еще не представляла необходимой части ежедневного обихода, а некоторую редкость и известную роскошь.

III

Как все это было давно и вместе с тем точно все было вчера! Каких-нибудь сорок лет, — и все кругом изменилось. В какую глушь сейчас не проходят великолепные иллюстриро-

ванные издания необыкновенной дешевизны? Где вы не встретите иллюстрированный журнал, иллюстрированную детскую книжку или детский журнал?

Наша библиотека была составлена из классиков, и в ней — увы! — не было ни одной детской книжки... В своем раннем детстве я даже не видал такой книжки. Книги добывались длинным путем выписывания из столиц или случайно попадали при посредстве офеней-книгонош. Мне пришлось начать чтение прямо с классиков, как дедушка Крылов, Гоголь, Пушкин, Гончаров и т. д. Первую детскую книжку с картинками я увидел только лет десяти, когда к нам на завод поступил новый заводский управитель из артиллерийских офицеров, очень образованный человек. Как теперь помню эту первую детскую книжку, название которой я, к сожалению, позабыл. Зато отчетливо помню помещенные в ней рисунки, особенно живой мост из обезьян и картины тропической природы. Лучше этой книжки потом я, конечно, не встречал.

В нашей библиотеке первой детской книжкой явился «Детский мир» Ушинского. Этну

книгу пришлось выписывать из Петербурга, и мы ждали ее каждый день в течение чуть не трех месяцев. Наконец, она явилась и была, конечно, с жадностью прочитана от доски до доски. С этой книги началась новая эра. За ней явились рассказы Разина, Чистякова и другие детские книги. Моей любимой книжкой сделались рассказы о завоевании Камчатки. Я прочитал ее десять раз и знал почти наизусть. Нехитрые иллюстрации дополнялись воображением. Мысленно я проделывал все геройские подвиги казаков-завоевателей, плавал в легких алеутских байдарках, питался гнилой рыбой у чукчей, собирал гагачий пух по скалам и умирал от голода, когда умирали алеуты, чукчи и камчадалы. С этой книжки путешествия сделались моим любимым чтением, и любимые классики на время были забыты. К этому времени относится чтение «Фрегат «Паллада»» Гончарова. Я с нетерпением дожидался вечера, когда мать кончала дневную работу и усаживалась к столу с заветной книгой. Мы путешествовали уже вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. Где мы ни

были, чего ни испытали, и плыли все вперед и вперед, окрыленные жаждой видеть новые страны, новых людей и неизвестные нам формы жизни. Встречалось, конечно, много неизвестных мест и непонятных слов; но эти подводные камни обходились при помощи словаря иностранных слов и распространенных толкований.

Книжка

I

Лет до восьми моя жизнь с братом, который был старше меня года на два, не выходила зимой из границ комнаты, а летом — двора, небольшого садика и огорода. «Улица» для нас еще не существовала, и мы видели ее только из окна или проходили по ней под конвоем няни. Благодаря комнатному воспитанию мы росли бледненькими и слабенькими господскими детками, которые отличались послушанием и боялись всего, что выходило за пределы нашего дома.

Товарищество, впрочем, нахлынуло разом, когда мы начали ходить в заводскую школу. Мы как-то сразу получили полную детскую свободу и сразу же перестали бояться. Смело-

сти и предприимчивости оказался даже излишний запас, выражаясь в школьных драках и соответствующих возрасту шалостях. Я два раза тонул, приходил домой с синяками, подвергался разным опасностям, уже совсем не по возрасту. Этот боевой период раннего детства совпадает с воспоминанием о первом друге. Это был сын заводского служащего, бледнолицый, с зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на губах. Его звали Костей. Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился, — он вечно был весел и всегда улыбался. Милый Костя! Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком человеке, которого не можешь отделить от самого себя.

В детской дружбе заложена какая-то таинственная сила, которая проходит через всю остальную жизнь. Те, кого мы любили в детстве, служат точно путеводными маяками для остального жизненного пути. Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. С ним вместе мы на-

чали самостоятельную жизнь, именно ту жизнь, которая начиналась за пределами детской комнаты, захватывала все родное селение и потом увела на зеленый простор родных гор. Вместе с Костей же явилась и новая книга.

— У меня отец все романы читает, — рассказывал Костя, коверкая ударение. — И чем страшнее, тем лучше для него. Хочешь, почитаем вместе? Есть «Черный ящик», «Таинственный монах», «Шапка юродивого, или Трилиственник».

Я, конечно, согласился с величайшим удовольствием. Отец Кости имел привычку перечитывать свои любимые «романы» по нескольку раз, и книги имели очень подержанный вид, а некоторые листы были точно изжеваны теленком. Из всей этой библиотеки на меня произвел самое сильное и неизгладимое впечатление знаменитый «Юрий Милославский» Загоскина. Для него я на время забыл даже Гоголя и других классиков. Увы! Таких романов нынешние авторы уже не пишут...

— Люблю почитать романы, — говорил

отец Кости. — Только я по-своему читаю... Меня, брат, никакой сочинитель не проведет. Я сперва прочитаю конец романа, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. Учен я довольно... Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либо кто умер. Нет, покорно благодарю!.. Я и без сочинителя знаю отлично, что все мы помрем. Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай...

Его звали Романом Родионычем. Это был человек маленького роста, с большой кудрявой головой. Он тоже вечно улыбался, как и Костя, — это была фамильная черта. Вообще окружавшие мое детство люди отличались великим добродушием, и я не помню ни одного злого человека, за исключением нескольких старух-раскольниц, злившихся, так сказать, по обязанности, чтобы не проявить по отношению к нам, ребятам, преступной бабьей слабости. Роман Родионыч всегда находился в прекрасном расположении духа, а когда впадал в отличное, то декламировал удивительнейшие стихи:

Людовиг, говорят,
В один миг, говорят,
Все постиг, говорят,
Пить хотел, говорят,
Не умел, говорят,
И пропал, говорят...

Откуда такие стихи и какой сочинитель их сочинил, — покрыто мраком неизвестности.

Роман Родионыч, как я уже сказал, был заводский служащий и занимал должность запасчика, то есть заведовал амбарами с хлебом, овсом и разными другими материалами, как сальные свечи, веревки, кожи и проч. Наш завод хотя и был небольшой, но служащих было достаточно. Они все были из крепостных и образование получили в заводской школе. Дальнейшее образование шло «своим умом» и почерпалось главным образом из случайно попадавшихся под руки книг.

Мы сейчас слишком привыкли к книге, чтобы хотя приблизительно оценить ту громадную силу, которую она представляет. Важнее всего то, что эта сила, в форме странствующей книги в коробке офени, сама приходила уже в то далекое время к читателю и, мало

того, приводила за собой другие книги, — книги странствуют по свету семьями, и между ними сохраняется своя родовая связь. Я сравнил бы эти странствующие книги с перелетными птицами, которые приносят с собой духовную весну. Можно подумать, что какая-то невидимая рука какого-то невидимого гения разносила эту книгу по необъятному простору Руси, неустанно сея «разумное, доброе, вечное». Да, сейчас легко устроить домашнюю библиотеку из лучших авторов, особенно благодаря иллюстрированным изданиям; но книга уже пробила себе дорогу в самую глухую пору, в доброе старое время ассигнаций, сальных свечей и всякого движения родным «гужом». Здесь нельзя не помянуть добрым словом старинного офеню-книгоношу, который, как вода, проникал в каждую скважину. Для нас, детей, его появление в доме являлось настоящим праздником. Он же руководил и выбором книг и давал, в случае нужды, необходимые объяснения.

Помню, как один старичок-офеня разрешил вопрос об ударении над словом роман.

— Ром***а***н — это имя, а р***о***ман — книга.

— Вот-вот, это самое, — почему-то торжествовал добрейший Роман Родионыч. — Тогда и не различить бы, который роман — человек, а который роман — книга. И меня бы с книгой стали смешивать.

Один из таких офеней лично мне невольно доставил большое огорчение. Как все дети, я очень любил рисовать, а у него в коробе среди других сокровищ оказался атлас для самообучения рисованию. Вся беда была в том, что он стоил целых два рубля — сумма, по тогдашнему счету и по нашему бюджету, громадная, — целых шесть рублей, если считать на ассигнации.

— Нет, не могу, — заявил отец. — Если рубль, то еще можно, а двух рублей нет.

Я отлично понимал, что значит слово «нет», и не настаивал. Так атлас и ушел в коробе офени к другому, более счастливому покупателю, а мне его жаль даже сейчас. Уж очень хотелось учиться рисовать, а учиться было не по чему. Мы с Костей принялись копировать плохие гравюры из «Живописного обозрения», возмущаясь их аляповатостью.

II

Нужно сказать, что библиотека Романа Родионыча была очень маленькая, и книги сошлись в ней совершенно случайно, как встречаются незнакомые люди где-нибудь в вагоне. Исчерпав этот запас, мы с Костей начали отыскивать книги в других домах. Конечно, у управителя книг было много, но мы не решались быть назойливыми. Оказалось, что рядом с нашим домом находилось целое книгохранилище.

В раннем детстве всей медициной у нас заведовал худенький старичок, заводский фельдшер Леонтий Ефимыч. С этим именем у меня связаны воспоминания о первом знакомстве с разными порошками от кашля, детскими «микстурками», припарками и целой коллекцией всевозможных мазей. Не было такой болезни, от которой у Леонтия Ефимыча не нашлась бы соответствующая ей «микстурка», мазь или припарки. И, право, дело шло совсем недурно, а главное, как-то добродушно. Уже одно появление в доме Леонтия Ефимыча вносило известное успокоение, точно он являлся живым олицетворением всех целебных сил.

— Горлышко болит? Кашелек легкий? — ласково спрашивал он, щупая пульс. — А ну-ка, покажи язык... Так, так, легонький жарок... А мы его микстуркой прогоним, да малинки выпить на ночь, да маслицем грудку растереть.

В чайной или гостиной в это время появлялась уже домашняя «закусочка». Леонтий Ефимыч выпивал «рюмочку водочки», закусывал «ломтиком колбаски», принявшей от времени окаменелый вид (знаменитая углицкая колбаса, или по-сибирски — «сапажу»), потирал руки, улыбался и повторял:

— Ничего, ничего... А мы микстуркой да маслицем, а то можно будет и горчичничек. Да, мы шутить не любим...

У меня осталось относительно заводских фельдшеров самое теплое воспоминание. Право, они лечили недурно, а главное — не запугивали и не говорили страшных ученых слов. Существования бактерий тогда, конечно, никто еще и не подозревал, но кипяченая вода прописывалась при малейшем заболевании немедленно, как это делается и сейчас. Я в эту пору детства не видел ни одного докто-

ра, а только слышал, что есть какой-то доктор в Тагиле, который спит на сене и питается исключительно одними пирогами с морковью.

Добродушного Леонтия Ефимыча сменил не менее добродушный фельдшер Александр Петрович, походивший наружностью на доброго старого немца: лицо всегда гладкое, выбритое, на висках аккуратно завитые букольки, в руках табакерка. Своим появлением на заводе Александр Петрович произвел даже известную сенсацию.

— Александр Петрович был в Петербурге, — объяснил нам с Костей Роман Родионыч. — Да... Его голой рукой не бери.

«Человек, который был в Петербурге», для меня являлся окруженным известным ореолом, и я долго не мог привыкнуть к этой мысли. Мне все казалось, что Александр Петрович непременно сделает что-нибудь такое, чего никогда не могут сделать люди, не бывавшие в Петербурге, или по крайней мере он должен думать что-нибудь такое, о чем не снилось всем нам. Дальше мне казалось, что он даже и свою немецкую наружность тоже вывез из Петербурга, как вывозят оттуда все-

возможные чудеса и редкости. Впрочем, метод лечения у Александра Петровича был таким же, как и у не бывавшего никогда в Петербурге Леонтия Ефимыча, с той разницей, что когда Александр Петрович входил в нашу детскую, то с ним вместе появлялась какая-то специальная атмосфера, пропитанная анисовым маслом и еще какими-то мудреными аптекарскими специями. Моему детскому воображению казалось, что это именно настоящий ученый запах, и я проникался еще большим уважением к «человеку, который был в Петербурге».

Вот у этого Александра Петровича мы и открыли целый склад книг, вместилищем для которых служил громадный старинный комод с медными скобками. Мы с Костей накинулись на это сокровище, как мыши на крупу, и на первых же шагах выкопали из праха забвения самого Аммалат-Бека.

В течение нескольких месяцев мы просто бредили этой книгой и при встречах здоровались горской песней:

Аллага-аллагу!
Слава нам, —

Смерть врагу!

Нами овладел особенный воинственный азарт и жажда славных подвигов. Мы сделали деревянные шашки и кинжалы, оклеили их цветной бумагой и делали друг перед другом свирепые лица, стараясь перещеголять друг друга в жестокости настоящих лезгин, чеченцев и кабардинцев. Не довольствуясь декламацией, мы распевали хором предсмертную песню горцев, так что нашим увлечением заразился даже Роман Родионыч и раз заявил самым решительным образом:

— Эх, если бы не жена да не ребятишки, — ушел бы на Кавказ воевать с Шамилем. Ей-богу, ушел бы... Винтовку бы купил, кинжал, шашку и сделался бы абреком.

— Да ведь Шамиль давно взят в плен, а абреками называются горцы, — объясняли мы.

— Э, все равно! Ничего вы не понимаете. Один стихотворец, — только вот фамилию забыл, — так он так сказал:

Гирей сидел, потупив взор,
Янтарь в устах его дымился.

Вот оно как... да! Одного Шамиля взяли, ну,

другой остался. Как же Кавказ и без Шамиля?.. Дудки!.. Скажи-ка вот это своими словами, и выйдет чепуха: Гирей покурил табачку. Без Шамиля нельзя!..

«Сочинители» и «стихотворцы» составляли для нас неразрешимую загадку. Кто они такие, где живут, как пишут свои книги? Мне почему-то казалось, что этот таинственный, сочиняющий книги человек должен быть непременно сердитым и гордым. Эта мысль меня огорчала, и я начинал чувствовать себя безнадежно глупым.

— Все книги генералы сочиняют, — уверял Роман Родионыч. — Меньше генеральского чина не бывает, а то всякий будет писать!

Он ссылался в доказательство своих слов на портреты Карамзина и Крылова, — оба сочинителя были в звездах.

Мы с Костей все-таки усомнились в сочинительском генеральстве и обратились за разрешением вопроса к Александру Петровичу, который должен был знать все.

— Бывают и генералы, — ответил он довольно равнодушно, поправляя свои буколь-ки. — Отчего же не быть генералам?

— Все генералы?..

— Ну, где же всем быть... Есть и совсем простые, так, вроде нас.

— Простые совсем, и сочиняют?

— И сочиняют, потому что кушать хотят. Зайдешь в Петербурге в книжный магазин, так глаза разбегутся. До потолка всё книги навалены, как у нас дрова. Ежели бы всё генералы писали, так от них на улице и проходу бы не было. Совсем есть простые сочинители, и даже частенько голодом сидят...

Последнее уже совсем не вязалось с составившимся в наших головах представлением о сочинителе. Выходило даже как будто и стыдно: мы вот читаем его книжку, а сочинитель где-то там в Петербурге голодает. Ведь он для нас старается и сочиняет — и мы начинали чувствовать себя немного виноватыми.

— Не может этого быть, — решил Костя. — Наверно, тоже свое жалованье получают...

III

Еще более неразрешимым вопросом являлось то, где в книге действительность и где сочинительский вымысел. Роман Родионыч даже впадал по этому поводу в уныние.

— Я недавно даже прослезился над романом, а если сочинитель-то наврал? Может, этого и в помине не было, а я над его враньем реву... Я бы такого враля взял бы и растерзал. Не обманывай публику, не плутуй... Ежели всякий будет врать, так тогда и на свете нельзя будет жить.

Мы с Костей твердо верили, что в книге не может быть вранья, а описано все, как было в действительности. Ведь это было бы ужасно, если бы и Юрий Милославский, и наш любимый герой Кирша, и Аммалат-Бек оказались только сочинительской фантазией, нет, этого не может быть... Даже в учебниках, и в тех все правда. Нашими любимыми учебниками были география Корнеля и всеобщая история Лямо-Флери. Я и сейчас вспоминаю об этих милых друзьях с величайшей благодарностью.

У себя в кладовой и в комоде Александра Петровича мы разыскали, между прочим, много книг, совершенно недоступных для нашего детского понимания. Это были всё старинные книги, печатанные на толстой синей бумаге с таинственными водяными знаками

и переплетенные в кожу. От них веяло несокрушимой силой, как от хорошо сохранившихся стариков. У меня с детства проявилась любовь к такой старинной книге, и воображение рисовало таинственного человека, который сто или двести лет назад написал книгу, чтобы я ее прочитал теперь. Этот загробный голос приводил меня в умиление, а дальше фантазия уже рисовала самостоятельный ряд картин: ведь этот древний сочинитель был в свое время ребенком, играл и шалил, как и мы с Костей, читал книжки сочинителей, которые жили задолго до него, и т. д. Почему же именно вот этот мальчик сделался сочинителем и через сотни лет говорит со мной, как бы говорил живой, а сотни, тысячи и миллионы других детей так и остались в неизвестности, забыты, и никто не интересуется, что они думали, чувствовали и делали.

— Это от бога, — объяснил Роман Родионыч.

— Почему же одному дано от бога, а другим не дано?

— Отвяжитесь... И птица перо в перо не родится.

В числе таинственных старых книг были такие, самое название которых трудно было понять: «Ключ к таинствам науки», «Театр судоведения», «Краткий и легчайший способ молиться, творение г-жи Гион», «Торжествующий Хамелеон, или изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», «Три первоначальных человеческих свойства, или изображение хладного, горячего и теплого», «Нравственные письма к Лиде о любви душ благородных», «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (разрозненные книжки первого сибирского журнала) и т. д. Мы пробовали читать эти мудреные таинственные книги и погибали самым постыдным образом на первых страницах. Это убеждало нас только в том, что именно эти старинные книги и есть самые умные, потому что их могут понимать только образованные люди, как наш заводский управитель.

На этих старинных таинственных книгах были неизвестной рукой сделаны предостерегающие надписи, вроде того, что «кто сию книгу возьмет без спросу — останется без носу», а на творении г-жи Гион красовалась це-

лая «сентенция»: *«Только прошу Читать Со вниманием и табак не курить, и если кто покурит, у Того глаза уйдут в нос, в чем и подписуюсь своеручно Аверкий, сын Чемоданов»*.

Совершенно особый отдел среди этих старинных книг составляли старинные учебники, по которым выучилось не одно поколение. Они были напечатаны на толстой и твердой, как кожа, бумаге, а для прочности края листов были смазаны маслом. Особенно любопытен был арифметический задачник издания 1806 года: «Собрание шести сот пятидесяти одного избраннейшего примера, в пользу юношества, учащегося арифметике, под смотрением преосвященнейшего Иустина, епископа пермского и екатеринбургского, взятых несколько из книг, но по большей части новоизобретенных посильными трудами Алексея Вишневского, учителя математики в новоучрежденной пермской семинарии». В числе приведенных «экземплев» находились такие, которые решались по какому-то «слепому» или девичьему правилу, а под № 375 находилась такая задача в стихах:

Нововыезжей в Россию француз-

ской Мадаме
Вздумалось ценить свое богатство в чемодане;
Новой выдумки нарядное фуро
И праздничный чепец а ля Фигаро.
Оценщик был Русак.
Сказал Мадаме так:
«Богатства твоего первая вещь фуро
В полчетверти дороже чепца а ля Фигаро;
Вообще же стоит не с половиною четыре алтына,
Но настоящая им цена всего только половина».
Спрашивается всякой вещи цена,
В чем французская Мадам к Россам привезена?

Решение задачи: «цена фуро 5 1/4 алтына, чепцу 1 1/2 алтына».

Впоследствии я встретил еще один экземпляр этой удивительной книги, составляющей библиографическую редкость.

Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой, популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени. «Натуральные

знания» находились даже не в зачаточном состоянии, а прямо их не существовало. Невежество доходило до смешного. Милейший Роман Родионыч любил производить нам с Костей маленький экзамен.

— Коська, из чего делают стекло?

Мы уже знали ответ и в один голос отвечали:

— Из соломы, Роман Родионыч.

— Ишь, выучил у меня. Ну, а какой зверь хвостом пьет?

— Бобер, Роман Родионыч.

И мы и наш экзаменатор верили, что бобр пьет хвостом, и нам не казалось это странным, да и другим тоже. Курьезов в этом роде было достаточно, и кругом относительно «натуры» царило самое наивное невежество. Книг по естествознанию не существовало, а обрывки знаний переходили от поколения к поколению устным преданием.

Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или по-заводски доверенным, поступил туда бывший студент Ка-

занского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент, Александр Алексеевич, который главным образом и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Пред нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, — как взяться «с самого начала», чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних лю-

бимцев, как Загоскин, Марлинский, Лажечников и др., сразу померкли и стушевались. Выступали вперед другие требования, интересы и стремления.

Роман Родионыч не признавал этих новых книг, которые казались ему подозрительными.

— Молешот... что такое Молешот? И имя-то какое-то собачье. Нет, брат, нас не обманешь... Студенты, конечно, очень образованные и обходительные люди, а все-таки занимаются сущими пустяками. Ты мне подавай настоящее, самую суть, а не мошек да букашек.

И сейчас, когда я случайно встречаю где-нибудь у букиниста какую-нибудь книгу издания шестидесятых годов, у меня является радостное чувство, точно отыщешь хорошего старого знакомого.

Да, у книг своя судьба, как и у людей. «Что ни время, — сказал Гейне, — то и птицы; что ни птицы, — то и песни»...

ЗЕЛЁНЫЕ ГОРЫ

I

Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес... Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги.

Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе

нашей маленькой деревянной заводской церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим, старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок, Николай Матвеич. Мочального цвета жиденькие волосы были заплетены в две тонкие косички и запрятаны за высокий воротник праздничного казинетового подрясника; такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно заморенная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливанье и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым сапогам — все это составляло одно целое. Заскорузлые руки с узловатыми, скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло.

Это был, так сказать, праздничный портрет Николая Матвеича, как и его праздничное бормотанье на клиросе.

— Точно глухарь бормочет на лиственнице, — говорил охотник Емелька, закадычный друг и приятель Николая Матвеича.

Служба в церкви кончалась. Народ расходился. Я садился к окну и ждал, когда последними из церкви выйдут охотник Емелька, дьячок Матвеич и еще кто-нибудь из стариков. Они выходили степенно и, не торопясь, пересекали площадь, минуя базар. Наш кучер Яков тоже ждал этого момента и с хохлацким юмором говорил:

— Эге, Матвеич втикае до шинка...

Мне было каждый раз обидно за Матвеича, потому что все знали, куда он идет, и подшучивали над стариком. Наверно, и ему совестно идти через площадь, и он делал такой вид, как будто идет куда-нибудь по делу. У нас в заводе был всего один кабак, и это таинственное место мне казалось вместилищем всякой гадости. Дальше я решительно не мог себе представить Матвеича именно в кабаке: сейчас был на клиросе, читал и пел божественное, и сейчас же кабак... Мне делалось жаль старика и хотелось крикнуть: «Николай Матвеич, идите домой чай пить... Никто не

будет над вами смеяться». Через некоторое время Матвеич возвращался домой, но уже другой дорогой, задами огородов. Он шел сгорбившись, слегка колеблющейся походкой, делая неверные жесты одной рукой, а другой поддерживая расходившиеся полы своего подрясника. На ходу он что-то бормотал себе под нос и снимал меховую оленью шапку собственной работы, в которой ходил и зиму и лето. За ним разбитой походкой обыкновенно плелся Емелька, тоже размахивавший руками и бормотавший. Оба неразлучных друга производили впечатление только что отравленных людей, что было уже совсем не смешно.

Другое воспоминание о Николае Матвеиче связано неразрывно с нашими годовыми семейными праздниками, когда он являлся гостем, садился куда-нибудь в дальний угол и молчал. Съедался именинный пирог с рыбой; граненый графин с водкой пустел и наполнялся; в комнате поднимался одушевленный говор, а Николай Матвеич все отсиживался в своем уголке, не вступая в общий разговор. Но стоило кому-нибудь из заводских служа-

щих поднять разговоры об охоте, как вся дьячковская застенчивость исчезала, и Николай Матвеич выступал на сцену, сразу делаясь другим человеком. Он был страстный охотник и прекрасный рассказчик. Конечно, имели свое значение и выпитая водка и именинный пирог.

— Ну-ка, Николай Матвеич, расскажи про своих олешков! — подзадоривал кто-нибудь из гостей.

Олешками Николай Матвеич называл оленей, и охота за ними была его страстью. Рассказывал он разные эпизоды из своей охоты, мастерски изображая все в лицах. Обыкновенно он выходил на средину комнаты и давал настоящее представление. Забитого дьячковской нуждой человека как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист. Со стороны было смешно смотреть, как он делал прыжки, подбирая полы своего праздничного подрясника, и разными голосами передавал, как кричит олешек-бык или блеет дикая коза. Все хохотали обыкновенно до слез, наслаждаясь даровым представлением, а мне было жаль старика, не замечавшего,

что смеются не над его рассказом, а над ним самим, и обидно за него. Так и хотелось сказать ему, как во время его путешествий из церкви в кабак: «Николай Матвеич, не надо: они смеются над вами. Ведь вы совсем не такой человек».

Впоследствии мне еще много раз приходилось обижаться за Николая Матвеича, когда уже его не было на свете и когда я встречал смехотворное описание русского дьячка где-нибудь у любимого автора. Русская барская литература относилась всегда к дьячку с самым обидным презрением, как к чему-то до последней степени неприличному, жалкому и ненужному, чему не должно быть места на земном шаре. Это литература выводила добродетельных нянюшек, серьезных дворецких, верных старых слуг и добрых мужичков, а дьячок являлся только в роли смехотворного ничтожества. Это был даже не человек, а так, какая-то плесень, прицепившаяся к вые благородного во всех отношениях остального человечества. Дьячок по преимуществу выводился дармоедом, пьяницей и лишенным всякого человеческого достоинства.

Эти мысли о «дьячке» интересовали меня с самого раннего детства, потому что именно здесь чувствовалось поруганное человеческое достоинство. Почему не смеются и не вышучивают самого маленького заводского служителя, который решительно ни в чем не лучше дьячка, за исключением того, что не носит смешных косиц и подрясника? Про рабочих на заводе и говорить нечего. Они являлись рядом с Николаем Матвеичем прямо аристократами. Работа на фабрике, в курене, на промыслах и по перевозке разных заводских материалов оплачивалась гораздо лучше, чем дьячковский труд. За разрешением своих сомнений я обращался к нашему кучеру Якову, типичному хохлу,[423] который с хохлацким юмором объяснил:

— А нэхай ему, дьячуге... Вин горилку пье.

Яков и сам был не прочь выпить «горилки», но это не ставилось ему в вину, как дьячку Николаю Матвеичу, да и сам он не стеснялся своей слабости.

Мой отец, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, относился к Николаю Матвеичу с известным уважением,

и я раз слышал, как он сказал:

— Николай Матвеич — настоящий философ...

Когда я просил отца объяснить это слово, он уклончиво заметил:

— Ты еще мал... Когда будешь больше — поймешь.

II

Рост детского мира ограничен своими географическими пределами. Помню, как до шести лет этот мир заключался по преимуществу в стенах нашего деревенского дома, причем зимой мы сидели в комнатах почти безвыходно, а летом играли в садике, а «на улицу», которая у нас заменялась большою заводскою площадью, нас отпускали погулять только под строгим надзором няни, что уже составляло для нас личное оскорбление. Уличная детвора, проводившая все время под открытым небом, сопровождала нас самыми обидными замечаниями и остроумными кличками. Мы в качестве благовоспитанных детей сами боялись этих уличных сорванцов и сторонились их.

Следующий географический момент насту-

пил тогда, когда нянька была отставлена и в наше распоряжение отданы были двор, сад и огород, что вместе составляло довольно большое пространство, особенно летом, причем каждое время года приносило свои детские удовольствия. С ранней весны у отца начиналась работа в маленькой тепличке; потом шли приготовления парников и приготовление большого огорода. Распускались рябины, черемухи и смородина в нашем садике, где у нас были свои любимцы, как пион, принесенный Николаем Матвеичем с гор. По-уральски пион называется «марьиным корнем». Я особенно любил этот цветок, который мне казался каким-то таинственным гостем, и я не мог себе представить, чтобы в простом лесу росли такие пышные цветы. Николай Матвеич являлся в роли волшебника, похищавшего таинственную красоту этих зеленых гор, которые отлично были видны из окон нашей детской.

— Их там много, Николай Матвеич, таких цветов? — приставал я к волшебнику.

— Довольно...

Потом Николай Матвеич приносил с гор

прекрасные пестрые лилии, которые обыкновенно разводятся в оранжереях. Они на Урале называются «саранками». Их луковицы едят.

— В саду саранка не будет расти, — объяснил Николай Матвеич. — Она свою землю любит...

— И других цветов в горах много?

— Много... Всякие цветы в горах растут.

Благодаря Николаю Матвеичу я выучил название всех гор, которые были видны от нас. Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядкой, называлась Путиной горой, за ней зеленой островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от нее виднелось Седло, еще правее — Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы — Белой.

— Ишь как лоб-то высунула, — как-то особенно любовно говорил Николай Матвеич про последнюю.

Белая гора была слабостью Николая Матвеича, потому что под ней он бил своих олешек, а на Осиновой горе он выстроил себе балаган, где зимой жил по целым неделям. Все эти сведения я запоминал с жадностью, потому что в

них открывался неведомый, таинственный горный мир. Оттуда Николай Матвеич приносил всякую дичь: глухарей, тетеревов-косачей, рябчиков; там же по зимам в горных быстрых речонках ловил налимов. Налимы особенно занимали нас. Николай Матвеич приносил их обыкновенно в мешке. Они замерзали, свернувшись кольцом. Интерес заключался в том, что стоило высыпать эти черные крендели, ломавшиеся, как сухарь, на стол в кухне и дать согреться, как они начинали шевелиться и оживали. Это был поразительный эффект. В Сибири любят делать пироги, запекая в тесте мороженую рыбу целиком, что придавало пирогу особенную сочность, и мороженые налимы, согревшись в печи, выползали иногда из пирога.

Вообще Николай Матвеич для меня являлся неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя было добыть ни из одной умной книжки. Но было одно обстоятельство, которое просто отравляло нам жизнь. Он жил рядом с нами. Нас разделял только огород. Выйдешь, бывало, в свой садик и вдруг слышишь протяжный, жалобный вой,

который просто хватал за душу. Это выла несчастная собака, которая сидела на привязи в подклети; а выла она оттого, что Николай Матвеич не считал нужным ее кормить как следует.

— Чутье потеряет, если ее кормить до отвала, — коротко объяснял он. — На охоте не будет работать...

Подклеть находилась под комнатой, где жил Николай Матвеич, и как он мог выносить этот голодный вой по целым дням, для меня и до сих пор остается неразрешимой загадкой.

Эта вечно вывшая охотничья собака послужила к тому, что я начал потихоньку от хозяина прикармливать ее. Соберешь разные кухонные остатки — кости, корки и разные объедки, укараулишь, когда Николая Матвеича нет дома, и стрелой мчишься к несчастному голодному псу.

Здесь необходимо сказать несколько слов об уральской промысловой собаке, которая является немаловажным действующим лицом в моих детских воспоминаниях. Тип охотничьей промысловой собаки вырабаты-

вался веками, и на Урале славятся так называемые «вогулки». Вогулы — вымирающее племя инородцев, жалкие остатки которого сохранились только в самых глухих дебрях Северного Урала. Они исключительно занимаются звероловным промыслом, и от них перешла к русским промышленникам собака-вогулка. По наружности это — обыкновенная дворняга, с загнутым на спину хвостом, но опытный глаз сразу оценит породистую голову с большими глазами и острой мордой, сильную грудь и породистые, тонкие ноги. «Рубашка», то есть масть, — пестрая, причем черный, белый и желтый цвета перемешаны у каждой по-своему. Благодаря этой масти большинство вогулок носят одну кличку: Лыско. Такие охотники, как Николай Матвеич и Емелька, особенно ценили тех собак, у которых на бровях были желтые круглые пятна.

— Это вторые глаза, как у нас очки, — авторитетно объяснял Николай Матвеич. — Она ими ночью смотрит...

Раз это говорил Николай Матвеич, то я, конечно, не мог не верить. Главные достоинства такой вогулки на охоте неоценимы: она

идет на медведя, ищет неутомимо белку, куницу, соболя, лисицу, облаивает осенью глухаря, когда он садится кормиться на закисшую от первого инея лиственницу, выслеживает диких коз и оленей, — одним словом, охотник без нее, как без рук. Вогулка не умеет делать только одного — стойки, как настоящие охотничьи собаки. Вторым недостатком такой промысловой собаки было то, что она гонялась за зайцами и подъедала иногда раненую птицу; но и этот недостаток легко объясняется жестокой системой воспитания голодом. Да, еще одно замечание: вогулки резко отличаются от дворняги необыкновенной чистотой своей шерсти, точно их мыли каждый день.

У Николая Матвеича перебывало много таких Лысок, и все они походили одна на другую, как монеты одного чекана, и все влачили самое жалкое существование.

Раз я попался Николаю Матвеичу на самом месте преступления. Принес Лыску костей и засиделся, любуясь, с каким аппетитом она ест.

— Пса портишь, малец... — послышался за

мной голос хозяина.

Я порядочно растерялся, но все-таки проговорил:

— А если она голодна?

— На то он пес, чтобы голодать...

Благодаря собаке я познакомился с Николаем Матвеичем ближе.

III

Квартира Николая Матвеича помещалась в конце длинного деревянного флигеля, отведенного заводоуправлением для помещения церковного причта. Николай Матвеич занимал дальний конец этого флигеля, выходивший окнами на восток, то есть к горам. Собственно квартира состояла из одной большой комнаты, разделенной деревянными переборками на три: передняя — она же и кабинет и мастерская хозяина, — из нее вход в небольшую угловую комнатку, заменявшую гостиную, и в кухню, где, собственно, проходила жизнь всей семьи. Обстановка была самая бедная, вернее — никакой обстановки. В кухне около стен шли лавки, как в крестьянских избах, и вся мебель состояла из одного деревянного стола; в кабинете хозяина была тоже

лавка, только передвижная, и самодельный стул, в угловой комнате деревянный диванчик и несколько стульев.

В этом помещении ютилась довольно большая семья: жена Николая Матвеича, которую он, выпивши, называл «матерешкой», два сына и две дочери. Были еще двое старших детей, но они уже были пристроены, — старший сын служил дьяконом, а старшая дочь была замужем. Из оставшихся старший сын Митюшка работал на заводе, а младший, которого отец называл «Кулкой», был моего возраста, и мы скоро подружились. Дома Николай Матвеич держал себя почти неприступно и редко с кем разговаривал. Все понимали его с одного взгляда. В случае словесных объяснений он относился ко всем иронически, как к низшим существам. Дома у себя он точно выкупал свое вечное дьячковское унижение. Особенно доставалось в этом случае безответной «матерешке», которая скрывалась и пряталась от грозного супруга, как курица. Я лично как-то по-детски, безучастно относился к этой семейной драме, да и сами действующие лица настолько привыкли к ней, что ед-

ва ли могли представить себе что-нибудь более подходящее и более целесообразное. Дьячковская нужда одинаково угнетала всех и приводила всех к одному знаменателю.

А мне даже нравилась эта нужда, и я завидовал многому в обстановке дьячковского ежедневного обихода. Например, что могло быть лучше сидения по вечерам «с лучиной»? Сальные свечи, которые отпускались заводоуправлением, составляли роскошь, а осенние и зимние вечера так длинны. Свечи заменялись лучиной, и я был в восторге, когда меня отпускали к Николаю Матвеичу посидеть «с лучиной». Вся обстановка этого сидения была необыкновенно заманчива. Ставился, во-первых, «светец», то есть деревянное корытце на деревянных ножках и с деревянным столбиком, в котором была вбита для держания лучины железная развилашка. В корытце наливалась вода, куда и падали нагоревшие от лучины угли. Зажженная свежая лучина сначала горела ярко, потом появлялись красные, длинные загибавшиеся угли и пускали едкую струю синеватого дыма. По мере сгорания лучины дым увеличивался и наполнял всю ком-

нату удушающей пеленой. Все начинали протирать глаза, чихали, сморкались. Николай Матвеич обыкновенно сидел в сторонке и молча плел рыболовные сети, главным образом — излюбленные свои мережки. Мы, дети, больше всего заняты были лучиной, которую нужно было периодически менять, и я от души завидовал Кулке, который сидел с лучиной каждый вечер, а я мог получать это удовольствие только изредка. В самом деле, что может быть лучше, как сидеть и смотреть на горящую лучину, обламывать тонкие красные угольки, и бросать их в воду, и задыхаться от едкого березового дыма!

— Не нравится моя лучина? — подшучивает, бывало, Николай Матвеич. — А вот у меня в балагане, на Осиновой, еще лучше... Там я, как старый гриб, на сковородке пекусь. Вот там настоящий дым...

Николай Матвеич необыкновенно хорошо улыбался, причем его лицо делалось совершенно другим. При колеблющемся неверном освещении то потухавшей, то ярко вспыхивавшей лучины он казался мне каким-то сказочным человеком, каких художники рисуют

в детских книжках. Жаль, что «матерешка» не подходила к роли жены старого волшебника, а то выходило бы совсем как в сказке.

Домашний костюм Николая Матвеича подходил к этому детскому представлению. Парадный подрясник бережно вешался в уголок, а дома старик ходил попросту: пестрядинные штаны, запрятанные за голенища громадных мужицких сапог, рубаха из грубой китайской выбойки кирпичного цвета, с черными горошинками, а поверх — короткая курточка из толстого крестьянского сукна или из шкурки молодого оленя. В мастерской стоял самодельный верстак, над ним самодельный шкафик с принадлежностями охоты и рыболовства, а над шкафиком ружье, лыжи, обтянутые оленьей кожей, и свернутые сети. Николай Матвеич для домашнего обихода делал решительно все сам, до ружейного ложа включительно, и казался мне гораздо искуснее Робинзона Крузо, почему я его и не сравнивал с этим любимцем всех детей. Свои курточки и шапки Николай Матвеич шил сам, не доверяя «матерешке», и по части выделки меха не имел соперников, — никто не умел так выде-

лывать олений мех, белку, куницу, лисицу и т. п. Одним словом, человек, который все знал, мог и умел. Увидать без дела Николая Матвеича мне не случалось. Старик всегда был чем-нибудь занят, и если не было домашней работы, он на дворе рубил дрова про запас, копал гряды, ухаживал за своею лошадью, сердитой рыжей кобылой, с какими-то необыкновенными белыми глазами, точно сделанными из фарфора, как у кукол.

Я убежден, что Николай Матвеич не променял бы своей передней ни на какие блага мира. Дело в том, что из единственного окна этой комнаты открывался чудный вид на родные зеленые горы.

— О! Кирюшкин пригорок! — показывал старик. — О! Белая, Шульпиха, Седло... Царство!..

Как все охотники, Николай Матвеич отличался суеверием. На охоту или рыбную ловлю он обыкновенно выходил самым ранним утром, на брезгу, то есть когда только начинал брезжить утренний свет. Делалось это с той целью, чтобы, — боже сохрани, — какая-нибудь баба не перешла дороги. В послед-

нем случае ничего не оставалось, как вернуться домой, потому что все равно удачи не будет. «Баба», по мнению Николая Матвеича, была самое вредное существо.

— Уж она все дело испортит, — подтверждал Емелька в качестве опытного человека. — Со мной сколько разов так-то бывало: перейдет дорогу — и шабаш. Идешь с ружьем, а она, как овца, и перебежит дорогу.

Ружье в глазах Николая Матвеича имело какое-то таинственное значение, и его ничего не стоило испортить одним взглядом, а того больше — неуместным словом. Все хорошо стреляет, а тут и пошло мимо да мимо. Ружье у старика было действительно редкостное, кремневое, из старинных гладкоствольных сибирских винтовок. Из него можно было стрелять одинаково и пулей и дробью, а иногда — тем и другим вместе. Понятно, что я относился к этому таинственному орудию с величайшим уважением и не смел прикасаться руками. Во всем домашнем обиходе Николая Матвеича ружье было самою дорогою вещью, орудием пропитания и предметом удовольствия. У этого ружья был свой собственный

характер, которым оно отличалось ото всех остальных ружей на свете. Я был убежден, что другого такого ружья и не могло быть.

IV

Мне минуло уже десять лет. В комнате, во дворе и в огороде сделалось тесно. Я уже ходил в заводскую школу, где завелись свои школьные товарищи. Весной мы играли в бабки и в шарик, удили рыбу, летом ходили за ягодами, позднею осенью катались на коньках, когда «вставал» наш заводский пруд; зимой катались на санках, — вообще каждое время года приносило свои удовольствия. Но все это было не то. Меня тянуло в лес, подальше, где поднимались зеленые горы.

— Ну, малец, когда мы пойдем рыбачить? — несколько раз спрашивал меня Николай Матвеич. — Вот бы каких окуней наловили, а то и щуку...

Мать долго не решалась отпустить меня с Николаем Матвеичем, потому что вода, как известно, вещь очень опасная. Долго ли утонуть!.. Но в одно прекрасное утро разрешение было получено. Это было еще с вечера, а по-

этому я почти не спал всю ночь. Ранним летним утром Николай Матвеич зашел за мной. Он был в рваной сермяжке, в оленьей зимней шапке и весь завешан собранной на веревке мережкой[424] — настоящий Робинзон. Мне ужасно хотелось спать, а в горах даже летнее утро бывает холодное, и над водой бродил волокнистый туман.

— Ничего, солнышко согреет, — ободрял меня Николай Матвеич, зарядив на дорогу свой нос табаком. — Жарко еще вот как будет...

В нашем заводе были два пруда — старый и новый. В старый пруд вливались две реки — Шайтанка и Сисимка, а в новый — Утка и Висим. Эти горные речки принимали в себя разные притоки. Самой большой была Утка, на которую мы и отправились. Сначала мы прошли версты три зимником, то есть зимней дорогой, потом свернули налево и пошли прямо лесом. Да, это был настоящий чудный лес, с преобладанием сосны. Утром здесь так было хорошо: тишина, смолистый воздух, влажная от ночной росы трава, в которой путались ноги.

— Вот и Матвеев луг, — объяснял Николай Матвеич, когда мы вышли из лесу на широкий мыс, огибаемый Уткой. — Тут и наши окуни.

Матвеев луг в моих детских воспоминаниях играет большую роль, потому что на нем мы проводили впоследствии много веселых юных дней. Купались, ловили рыбу и просто сидели около весело горевшего огонька. Для Николая Матвеича это место имело значение благодаря небольшой заводи, затянутой осокой и разной болотной травой. В жаркое время дня рыба входила в траву и здесь отдыхала. Я в первый раз видел, как ее ловят мережкой. Мережка — тройная сеть: в середине мелкая ячейка, а по бокам — крупные петли. Длиной она была сажен двенадцать, шириной — полтора аршина. На нижней веревке мережки укреплялись продырявленные, из обожженной глины грузила, кибасья, а на верхней, чтобы сеть не тонула, — поплавки из крученой бересты. Для прочности у Николая Матвеича мелкая средняя сеть была оплетена из синих ниток.

— Ну, вот мы и дома... — говорил старик,

усаживаясь на берегу отдохнуть.

Я забыл сказать, что Николай Матвеич был в лаптях, как всегда выходил рыбачить. Дело в том, что в лаптях вода не держится и не стесняет движений.

Отдохнув, Николай Матвеич разыскал спрятанное в кустах «ботало» — длинный деревянный шест с железной воронкой на одном конце, потом распустил мережку и пошел с ней в воду обметывать траву. На поверхности оставались одни берестяные поплавки. Когда заводь была обметана мережкой, он начал ботать, то есть пошел с берега в траву и бил в воду боталом. Благодаря железной воронке получался от каждого удара такой шум, от которого рыба должна была бросаться в мережку. Эта работа продолжалась с полчаса, пока Николай Матвеич не исходил всей травы. Глубина была выше пояса, и он был весь мокрый.

— Эге, есть!.. — проговорил он, когда средние поплавки мережки начали погружаться в воду.

Он свел концы мережки вместе и потащил мережку на берег. Издали еще можно было

видеть блестевшую, как серебряная монета, сорожку (плотва), запутавшуюся в мелкой сети. Но эта добыча не интересовала Николая Матвеича. В крупных ячейках наружных сетей запуталось несколько окуней и отчаянно билась аршинная щука. Это была настоящая рыба, и Николай Матвеич торжествовал.

— Вот тебе и уха из окуней и пирог из щуки, — говорил он, усмиряя бившуюся щуку.

На моей обязанности было тащить сделанную из лыка корзинку с рыбой, что было делом нелегким, — рыбы попало около десяти фунтов. Моему восторгу не было границ, и я жалел только об одном, что должен был сидеть на берегу и не мог принимать участия в закидывании мережки и в ботанье. Дальше я помогал расстилать мережку на траве, выбирать из нее речную тину и приставшую траву. А когда мережка немного просохла, мы отправились дальше, вверх по Утке.

Но дальше повторялось одно и то же, за исключением одного места, где Утка текла в суженном русле и мережку можно было перекинуть с одного берега на другой. Николай Матвеич особенно долго ботал, загоняя рыбу

сверху реки и снизу. Вода в реке была светлая, и я все время любовался, как в мережке запутывалась разная рыба. Особенно красивы были окуни с их красными плавниками и пестрой темно-зеленой чешуей. Я прыгал от радости, как дикарь.

Все шло отлично; но тут случилось нечто совершенно не предусмотренное. Из дому я не захватил ничего съестного и теперь испытывал муки настоящего голода. Раньше мне не случалось голодать никогда, и я не подозревал, какая это ужасная вещь. А дома чай со сливками, разные вкусные «постряпеньки», наконец, целый обед... Чтобы утолить голод, я пил воду, но это не помогало. Вода в реке была теплая и с каким-то травяным привкусом. Николай Матвеич посматривал на меня и загадочно улыбался.

— Ну, что, малец, не пора ли нам пообедать? — проговорил он после последней закидки. — Проголодался?

— Очень...

— А у меня отличный повар готовит обед... Ты не знаешь, как его зовут?

— Нет...

— Голод, малец.

Мы уселись на опушке леса у самого берега. Николай Матвеич развел огонь и бросил в него несколько картошек. А потом достал из берестяного заплечника (особого устройства коробок с крышкой, который носят за плечами) несколько ломтей хлеба, зеленого лука и завернутую в тряпочке соль. Я смотрел на эти приготовления с такою же жадностью, с какой Лыско смотрел на приносимые ему кости. Повар Николая Матвеича оказался отличным: я еще никогда и ничего вкуснее не едал, как простой ломоть черного хлеба с солью и луком. Дальше следовало второе открытие: ничего на свете не было вкуснее самого обыкновенного картофеля, испеченного в горячей золе. Это уже была настоящая роскошь, пища избранников.

— Ну, а теперь чаю напьемся из моего самовара, — говорил Николай Матвеич.

Он ободрал лоскут бересты с молодой березки, вырезал из него круг, сложил один край и защемил его в расщепленную березовую палочку. Получился так называемый «чуман», то есть берестяной ковшик. Пить из

него воду было, конечно, удобнее, чем черпать ее горстями. Робинзон оказался великим искусником, хотя я и не был согласен с его самоваром, то есть с рекой Уткой.

Возвращение домой произвело на меня угнетающее впечатление, потому что я страшно устал и думал, что просто умру дорогой от усталости. А Николай Матвеич, не торопясь, шагал своей развалистой походкой и, поглядывая на меня, улыбался своей загадочной улыбкой. Когда мы дошли до первых изб, я решил про себя, что больше ни за что в мире не пойду рыбачить... От усталости мне просто хотелось сесть на землю и заплакать. А Николай Матвеич шагал себе как ни в чем не бывало, и мне делалось совестно.

V

На другой день мои мысли совершенно изменились, и я мечтал о том, как мы опять пойдем рыбачить с Николаем Матвеичем.

В течение двух лет мы исходили с мережкой всю Утку и Шайтанку с переменным счастьем. Иногда приходилось возвращаться чуть не с пустыми руками, и можно было наловить гораздо больше удочкой, хотя послед-

него способа рыбной ловли Николай Матвеич и не признавал.

— Какая это ловля! — возмущался он. — Так, время убивать напрасно. Ребячья забава.

Главное удовольствие было все-таки впереди, именно — охота. Меня долго не отпускали; но потом состоялось соглашение в такой форме, что я пойду с Николаем Матвеичем, но только без ружья. Да у меня и не было своего ружья, хотя Николай Матвеич и обещал у кого-то достать.

У меня нет просто слов, чтобы выразить то волнение, которое меня охватило, когда мы в первый раз отправились с Николаем Матвеичем на Шульпиху, до которой от нашего завода считалось верст семь. Он шел со своим ружьем и с заплечником на спине, а я — с кузовком для грибов. Третьим действующим лицом был Лыско, визжавший от радости и выделывавший чудеса акробатического искусства. Утро было превосходное, точно настоящий праздник. Дорога на Шульпиху шла сначала старым заброшенным просеком (на Урале говорят «просек», а не просека), а потом мы свернули влево, где начинались покосы.

— Ужо по островкам пошукаем (поищем), — говорил Николай Матвеич, заряжая ружье. — Птица теперь по ягодникам кормится...

Стояла вторая половина июля, и трава уже поспела для покоса. Ничего красивее нельзя себе представить, как эти чудные горные луга, усеянные лесными островками и по всем направлениям изрезанные бойкими горными речками. От травы утром поднимался такой аромат, что кружилась голова. Как только мы вышли из завода, наш Лыско совсем пропал, так что я думал, что он потерялся.

— Он ищет... — объяснил Николай Матвеич, указывая на колыхавшуюся траву, где Лыско «нюхтил» ему одному известные следы.

Главное достоинство промысловой собаки в том, чтобы она «широко ходила», то есть далеко обегала дорогу, по которой идет охотник. Наш Лыско появлялся то справа, то слева, — высунет из травы свою острую морду, посмотрит, куда мы идем, и опять пропал.

— Ищи, ищи, — поощрял его Николай Матвеич.

Около одного островка послышалось

страшное фурканье. Это взлетел выводок поляшей (на Урале косачей называют поляшами, а тетерьку — польнюшкой). Николай Матвеич так и замер, подняв руку кверху.

— Видел? — шепотом спрашивал он меня.

Я ничего не видел. Лыско где-то взвизгнул и несколько раз отрывисто взлаял. Мы осторожно пошли по островку, причем Николай Матвеич часто останавливался, зорко вглядываясь в зеленую чащу смешанного леса. Я не смел дышать, охваченный первым охотничьим волнением. Мы зашли в лес, и Николай Матвеич остановился. Лыско, вспугнувший выводок, подбежал к нам и тревожно смотрел вверх, напрасно отыскивая притаившуюся дичь. Мы простояли совершенно тихо минут десять, как послышалось слабое щекотание.

— Слышишь? — шепнул мне Николай Матвеич. — Это матка подзывает детей.

В ответ щекотанию послышался с разных сторон писк, а на одной березе шелохнулась ветка.

— Вон он... — шепнул мне Николай Матвеич, показывая на вершину березы. — Смотри на сучок справа.

Сколько я ни старался и ни смотрел, но так и не мог увидеть затаившуюся птицу, которая сейчас была ростом чуть не с курицу. Николай Матвеич прицелился из ружья и дал мне «просмотреть» птицу по прицелу. Я, наконец, ее увидел. Она присела к самому суку, вытянув вперед голову совершенно неподвижно. Только опытный охотничий глаз мог рассмотреть ее.

— Ну, теперь видел, малец?

Лыско, следивший за каждым движением хозяина, слабо взвизгнул, когда Николай Матвеич начал прицеливаться. Грянул выстрел, и мне показалось, что птица полетела с дерева комом раньше выстрела. Лыско рванулся было к ней, но был прогнан с позором. Я в первый раз видел застреленную птицу. Она лежала на траве, закрыв глаза, и слабо вздрагивала крыльями. Это была предсмертная агония. Около трава была забрызгана яркими пятнами свежей крови. Когда я ее взял, она показалась мне такой маленькой. Крылья распались, голова бессильно висела, мои руки были в крови. Пока Николай Матвеич заряжал ружье, я внимательно рассматривал ее

и удивлялся, какая она вся чистенькая. Каждое перышко было верхом совершенства — не то что на домашней птице. Потом от нее пахло так хорошо, как пахнет только от сейчас убитой дичи. Говоря откровенно, я не испытывал ни малейшего чувства жалости к убитому живому существу. Объясняю это отчасти первым охотничьим пылом, а потом — присущею детям бессознательною жестокостью. Мне хотелось, чтобы Николай Матвеич перестрелял весь выводок, что являлось уже совершенно непонятною жадностью. Но нам удалось «взять» только две штуки, а остальные слетели.

— Ну, для начала и этого довольно, — решил Николай Матвеич, вскидывая ружье на плечо; он так носил ружье только в лесу, а в селенье опускал его книзу, точно прятал.

Следующим номером было утиное гнездо, которое Лыско разыскал на речке Мартьяне; но Николай Матвеич сделал промах и больше не стал стрелять.

— Терпеть не могу эту проклятую птицу, — ворчал он, заряжая винтовку. — Хлопот с ней не оберешься, да еще полезай за ней в воду.

Как раз утонешь. Да и вкусу настоящего в дикой утке никакого нет. Травой да тиной пахнет...

Самая лучшая часть охоты началась, когда мы стали подниматься на Шульпиху, покрытую светлым сосновым бором. Собственно, настоящей охоты тут не могло быть, но Николай Матвеич, очевидно, хотел показать мне красивое лесное местечко. Действительно, кругом все было красиво. Ровные сосны поднимались желтыми колоннами, под ногами — настоящий ковер из опавшей хвои, а вверху какой-то торжественный шепот, как в громадном храме, где звуки теряются под высокими сводами. Кое-где попадались трава и лесные цветы, а потом грибы.

— Как птица и рыба, так грибы и ягоды разные бывают, — объяснил Николай Матвеич. — Сухой груздь, рыжик, боровик — это настоящий гриб, — потому как его впрок можно готовить... А другие — ничего не стоят. Малина, черника, брусника — тоже сурьезные ягоды, а вот земляника или костяника уж совсем ни к чему.

На одной опушке Лыско поднял зайца и

погнал его с жалобным визгом.

— Ну, брат, шалишь, — посмеялся Николай Матвеич. — Косой-то похитрее тебя будет.

Лыско действительно вернулся через полчаса в самом жалком виде: усталый, с высунутым языком и порывистым дыханием.

— Поклон от косого принес? — шутил Николай Матвеич. — То-то, брат, не за свое ремесло принялся.

Мы сделали привал в середине горы, где у Николая Матвеича были спрятаны с весны надранные лыки.

— Ужо в Мартьян надо стащить да в воду спустить, — объяснил он. — К осени успеют вымокнуть... Будет и свое лыко и свое мочало.

Пока мы отдыхали, Лыско исчез, и скоро послышался его мерный, отрывистый лай, точно кто рубил топором.

— Белку облаивает, — заметил Николай Матвеич, поднимаясь. — Она теперь совсем красная и ничего не стоит...

Мы скоро нашли Лыска. Он стоял перед громадной сосной и отчаянно заливался. Белку я скоро разыскал. Она сидела на сучке в средине сосны и смотрела на нас совершенно

спокойно.

— Ишь, ничего не боится, — объяснил Николай Матвеич. — Знает, что никому ее сейчас не нужно... А вот как сделается по снегу серой, тогда забьется в самую вершину, и не разыщешь ее.

Чтобы потешить меня, Николай Матвеич убил ее и очень ловко освежевал, то есть снял шкуру, как перчатку. Мясо пошло в пользу Лыска, накинувшегося на него с жадностью.

VI

Мне приходится здесь сказать несколько слов об охоте, как о жестоком удовольствии, которое особенно порицается в таком восприимчивом возрасте, как детство. Защищать охоту, конечно, нельзя, и это не требует доказательств, хоть и есть защитники, которые уверяют, что только охота развивает в мальчиках настоящее мужество и закаляет характер. Это одна сторона. С другой стороны, в большинстве наших удовольствий, допускаемых и поощряемых самой строгой педагогией, есть известный элемент жестокости. Возьмите ужение рыбы, коллекционирование насекомых, — даже собирание гербария. Не все

ли равно, убиваете вы птицу или садите живое насекомое на булавку? В том и в другом случае вы лишаете жизни живое существо...

Лично я смотрю на охоту только как на средство быть в лесу. Идти в лес так, с голыми руками, не приходится и как-то скучно, а охота является прекрасным предлогом. Про свою раннюю юность в этом отношении могу сказать только то, что я слишком много провел прекрасных дней в лесу и в горах именно благодаря охоте, причем синодик загубленных птичьих жизней не превышает нескольких десятков. Да и впоследствии я никогда не мерял охоту количеством убитой птицы, как завзятые специалисты-охотники, а разных садок, где расстреливают выпускаемых из клеток голубей, не могу видеть и до сих пор.

Первое свое ружье я получил, когда мне было уже пятнадцать лет, и домой я приезжал только на каникулы. Первой жертвой моего охотничьего искусства была несчастная ворона, убитая для пробы ружья. Но убить самому оказалось совсем другим, чем быть свидетелем того, как убивают другие. Убитая мной ворона отравила мне несколько дней,

как совершенно бесцельная жестокость.

Благодаря собственному ружью я теперь уже мог самостоятельно ходить на охоту, а это представлялось таким удовольствием, равного которому нет. К этому времени у меня был уже большой друг, Костя, сын заводского служащего, у которого было тоже свое собственное ружье. Теперь мы делали уже настоящие походы в горы втроем, главным образом, на Осиновую гору, где у Николая Матвеича был устроен собственный балаган. Это было счастливое время, о котором я и сейчас вспоминаю с большим удовольствием.

Обыкновенно каждая охота в горах занимала два дня. Мы уходили в горы ранним летним утром, а возвращались только на другой день, поздно вечером. Дорога на Осиновую гору шла мимо Шульпихи, а потом — через знаменитые платиновые промысла, расположенные по течению реки Мартьяна. До промыслов мы успевали поохотиться и на Мартьяне делали охотничий привал у кого-нибудь из приисковых знакомых рабочих. Мы стреляли дупелей и бекасов на знаменитой Варламихе, которая дала тысячи пудов платины, а в то

время представляла собой цветущие луга. Николай Матвеич не признавал охоты на болотную дичь, называл ее «шальбой» и был уверен, что убить бекаса — навсегда испортить ружье.

В то время работа на промыслах шла только летом, и картина получалась самая оживленная. По берегам Мартьяна — везде избушки и простые землянки старателей, везде курятся приветливо огоньки, а по выработкам и промывкам копошатся сотни рабочих. Эта работа на открытом воздухе носит какой-то особенно бодрый характер, — конечно, в хорошую погоду. Нам не раз случалось и заночевать в одном из таких балаганов. Приисковые рабочие, конечно, смотрели на нас, как на шалопаев, которые от нечего делать шляются по лесу, и на этом основании не упускали случая пошутить.

— Матвеич, ты бы смазал ружье-то тараканьим мозгом, — советует кто-нибудь. — Пользительно, сказывают. Тоже вот сорочья кровь очень способствует.

Мы отшучивались как умели, а Николай Матвеич вообще не любил напрасно тратить

слов, особенно по части охоты: не такое это дело, чтобы лясы точить...

С промыслов наша дорога шла влево, круто забирая в гору. Это был чудный подъем. Извилистая горная тропинка шла зеленым коридором в гуще березняков и осинников. Особенно хороши были последние с своими матово-серыми стволами и трепещущей листвой, с которой точно сыпалась солнечная пыль. По густой, сочной зеленой траве так красиво бродят жирные солнечные расплывающиеся пятна. Пахнет горьковатым ароматом осиновых губок, обдает каким-то влажным теплом; где-то немолчно долбит пестрый дятел, неистово вскрикивает черная роньжа, мелькает шустрая белка. По-моему, нет красивее леса, как сплошной старый осинник. По крайней мере мне не случалось видеть ничего красивее. Дубовые и липовые рощи не могут идти в сравнение. Впрочем, может быть, сказывается свой уральский патриотизм или то, что тогда я смотрел на все молодыми глазами.

Подъем вытягивался верст в пять, и идти с ружьем в жаркий день — труд нелегкий. В

сплошном лесу и охота плохая, потому что дичь держится на ягодниках, а рано утром и вечером держится около лесных троп и дорожек.

К балагану Николая Матвеича на Осиновой мы приходили обыкновенно к обеду, часа в два, в самый развал летнего зноя, и делали уже настоящий привал. Балаган был срублен из елового леса и совсем врос в землю. Сверху он был покрыт дерном, на котором розовой шапкой рос иван-чай. Окон не полагалось, а их заменяла низенькая дверь, вся засыпанная дробью и дырами от пуль, как мишень. Внутри, в глубине, помещались деревянные нары, а налево от двери — сложенный из камня-дикаря очаг. Дым сначала наполнял весь балаган, а потом уже выходил в дверь и в проделанное в крыше отверстие, заменявшее трубу.

Мы снимали разную охотничью сбрую, разводили огонь и принимались готовить охотничий обед. У Николая Матвеича хранился для этого железный котелок, в котором приготовлялась охотничья похлебка из круп, картофеля и лука, с прибавкой, смотря по об-

стоятельствам, очень расшибленного выстрелом рябчика, вяленой сибирской рыбы-поземины или грибов. Вкуснее такой похлебки, конечно, ничего не было на свете; а после нее следовал чай с свежими ягодами — тоже не последняя вещь в охотничьем обеде.

— Ну, теперь поснедали, отдохнули и на работу, — говорил Николай Матвеич.

Сама по себе Осиновая гора не отличалась ни высотой, ни красотой, а походила на громадную ковригу хлеба. Николай Матвеич предпочитал ее всем другим горам благодаря своему покосу и зимней охоте на оленей. Мы предпочитали уходить на охоту под Кирюшкин пригорок, стоявший рядом. Он состоял из утесистого шихана (шиханом на Урале называют скалы на вершинах гор), от которого во все стороны рассыпались каменные россыпи. Около этих россыпей почти всегда растет малина, и птица любит держаться около этой ягоды. Но мы прежде всего забирались на самую вершину шихана, чтобы отсюда досыта налюбоваться широкой горной панорамой. Мы просиживали целые часы, любуясь зеленым морем родных гор, исчерченных бойки-

ми горными речками по всем направлениям и только кой-где тронутых человеческим жильем. Вдали виднелся наш родной завод Висим с его двумя прудами, ближе пряталась за горой деревушка Захарова, потом платиновые промыслы, — и только. В поле нашего зрения находился Черноисточинский громадный пруд-озеро, но он заслонялся каменной глыбой Белой горы.

Ночь мы проводили в балагане на Осиновой, а чем свет отправлялись на охоту. В этих случаях Николай Матвеич был неумолим и не позволял нежиться. После целого дня шатания с ружьем по горам мы возвращались домой к вечеру, усталые до последней степени, и клялись друг другу, что это уже в последний раз.

— Я и ружье изломаю, — уверял Костя.

Но усталость проходила в одну ночь, и мы опять шли в горы, расширяя поле действия. Мы пробрались и на Белую гору, где был устроен на самой вершине отличный балаган, побывали на Седле, на Билимбаихе, на Мохнатенькой, на трех Шайтанах и на Старике-Камне.

VII

Домой я приезжал только летом, на каникулы, и почти все время проводил в горах. Теперь мы с Костей уже без руководительства Николая Матвеича бродили по горам и отлично знали все горные тропы. Но все-таки, по старой привычке, мы любили поохотиться со стариком, который в лесу был совсем другим человеком, вернее сказать, — самим собой он делался только в лесу. Самое главное, что привлекало нас в нем, — было необыкновенно развитое «чувство природы». Такое чувство есть и, к сожалению, им владеют очень немногие. Николай Матвеич и по лесу ходил не так, как другие, хотя к этому и нужно было присмотреться. Сейчас он идет рядом с вами, вы слышите его шаги, а потом — точно сквозь землю провалился. Это была привычка «скрадывать», то есть идти на всякий случай под прикрытием. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, — тут сухарина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина подломала. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У ста-

рика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или другим образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался.

— Ведь погибла бы, — говорил он, указывая на какую-нибудь молоденькую рябинку. — Снег выпал ранний, мокрый, ну, и пригнул ее головой до самой земли, а я стряхнул снег, — вот она и красуется.

Больше всего старика волновали хищнические порубки на его любимой Осиновой горе, которые делались приисковыми рабочими с чисто русской безжалостностью к дереву. Николай Матвеич в немом отчаянии смотрел на свежие пни, валявшиеся вершины и думал вслух:

— Дерева-то не сумели по-настоящему выбрать и срубили его не по-настоящему... Выхватил одну середку, а остальное будет зря гнить в лесу да другим мешать. Хоть бы хворост да щепы в кучу собрали, а то хламят лес. Ежели бы дерево умело говорить, когда его рубят, — что бы тогда было? Ведь оно не мертвое, а живое...

Еще больше внимания оказывал Николай Матвеич всякой лесной живности, которая у него была на счету. Он наперечет знал на своей Осиновой все гнезда тетеревов, глухарей и рябчиков, тетеревиные и глухариные тока, все привычки и повадку каждой птицы.

— Зря бьют птицу, — возмущался он. — Выбивают маток до Петрова дня, цыплята остаются маленькими, ну, ястреба да лисы их и переедят. Убей матку, — все гнездо пропало. Матка-то тебе на другой год новое гнездо выведет... Вот петух — того можно бить после весенних токов, потому как он ни к чему, а матку не тронь. Божья птичка, у нее на все свой порядок. Как она весной-то радуется, как гнездышко вьет, как деток вываживает, — одна красота!.. Только вот не скажет, что и она жить хочет. Не троньте, мол, меня, не губите напрасно...

Жизнь природы, в совокупности всех ее проявлений, в глазах Николая Матвеича была проникнута неиссякаемой красотой. И любой камень, и каждая травка, и маленький горный ключик, и каждое дерево — все красиво по-своему. Какими красивыми лишайниками

точно обтянуты камни в горах! А мхи, папоротники, цветы — что может быть красивее? Перемены погоды по временам года нехороши только в селении, а в лесу все и хорошо, и красиво, и полезно. И дождь, и снег, и солнце, и ветер, и холод, все работает свою указанную работу. Осенние ночи и осенние ливни нехороши только в селениях, а в лесу и в них есть своя прелесть и своя глубокая поэзия. Но больше всего Николай Матвеич любил суровую северную зиму, когда вся природа засыпала в таком красиво-торжественном покое. Кажется, все замерло, погибло, исчезло, а между тем где-то там, под саженным слоем снега, таится и теплится жизнь, которая проснется с первым весенним лучом солнца. Горная текучая вода, разносившая кругом жизнь и движение, приводила Николая Матвеича в какое-то сладостное умиление.

— Это уж вековечная работница, — объяснял он. — Она и палый осенний лист стащит, и корешки у травки обмоет, и песок снесет вниз, и зернышки рассадит... Ведь и травка ходит: то вода снесет, то ветром перекинет зернышко.

В горах встречается много бродячих растений, которые точно сознательно идут в известном направлении, делая по дороге остановки для отдыха. Конечно, для таких передвижений нужны десятки и сотни лет.

Но были некоторые пункты, которых Николай Матвеич никак не мог понять. Раз мы пришли к балагану на Осиновой, и старик молча указал на разросшиеся около него репейники, чертополох, крапиву и лебеду.

— О! — проговорил он, улыбаясь.

Мы ничего не понимаем.

— Это всё дармоеды... — объяснил он. — В горах нигде не встретишь ни чертополоха, ни репья, ни крапивы, а эти дармоеды идут за человеком. Все равно, как клопы или тараканы... Ведь сюда их никто не тащит, а я же их как-нибудь принес с собой в заплечнике. И для чего они только растут?.. Все равно, как помру, балаган завалится, и они перемрут все до единого. Задушит настоящая лесная трава... Ведь вот тоже и воробья не встретишь в лесу, галки, голубя. Наш домашний голубь и на дерево-то не умеет садиться, потому у него лапки иначе устроены.

— А вяхирь?

— Ну, это уж лесной голубь, совсем другое.

Сидя по вечерам у огонька, о чем, о чем мы ни переговорили. Николай Матвеич рассказывал мастерски, как никто, и все, что он ни говорил, было передумано и перечувствовано. Каждое слово являлось полновесным зерном, как у всех серьезных и вдумчивых людей, которые умеют найти глубокий смысл в самом обыденном явлении и открыть его там, где другие ничего не видят. Это особый дар, дар избранников...

Дети по натуре — эгоисты. Мысль только о себе составляет долго все содержание внутренней детской жизни, и другие люди имеют постольку значения, поскольку они соответствуют удовлетворению этого чувства. Такой эгоизм проходит и через всю юность, как, вероятно, эгоистично прорастает в родной почве каждое зерно. Такими же эгоистами были и мы с Костей. Отлично помню, что мне не приходила в голову самая простая мысль, хорошо ли живется и как живется старику с его неотступной дьячковской нуждой. Достаточно сказать одно, что жалованья он получал

всего три рубля в месяц, готовую квартиру, свечи и, кажется, по пуду муки на каждого члена семьи. А ведь нужно одеться, — это одно чего стоило. Приход был маленький и бедный, и едва ли на долю Николая Матвеича доставалось от церковных доходов рублей пятьдесят, шестьдесят в год. И человек ухитрялся прожить всю жизнь и поднять на ноги всех детей. Николаю Матвеичу предлагали дьяконское место, но он наотрез отказался.

— А «матерешка» умрет? — коротко объяснил он. — Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Конечно, это была шутка, как любил выражаться старик. Дело было не в «матерешке», а в том, что Николай Матвеич не в силах был расстаться с своими возлюбленными зелеными горами и охотой, — дьякон не имел права ходить на охоту, потому что она соединена с пролитием крови. Николай Матвеич так и остался вечным дьячком.

Каким образом могла прожить такая семья на такие ничтожные средства, тем более, что были привычки дорогие, как чай? Ответ самый простой: все было свое. Огород давал все

необходимые в хозяйстве овощи, корова — молоко, куры — яйца, а дрова и сено Николай Матвеич заготовлял сам. Немалую статью в этом хозяйственном обиходе представляли охота и рыбная ловля. Больным местом являлась одежда, а сапоги служили вечным неразрешимым вопросом.

VIII

В начале семидесятых годов я уезжал учиться в Петербург и перед отъездом зашел проститься с Николаем Матвеичем. Это было в начале осени. У Николая Матвеича сидел в гостях его друг Емелька. Старики показались мне как-то особенно грустными. Дело скоро разъяснилось. Емелька взял стоявшее в углу пистонное ружье и, взвешивая на руке, проговорил:

— Веселенькая штучка... Ствол нарезной, а вместо кремня — свистоны. Значит, осечкам шабаш, не как у наших кремневок...

— Ничего не выйдет, — сказал Николай Матвеич с необычным для него азартом. — Из нарезного-то ствола ты и стреляй одной пулей, а дробь разнесет...

— Да ведь я не за рябчиками пойду с

ним? — сказал Емелька, тоже ожесточаясь. — Ведь как оно пулю далеко несет и как сильно бьет... А первое дело: свистон. Надел, чик! и готово...

— У тебя это в башке чикает! — ругался Николай Матвеич. — Разве это ружье? Мешалка какая-то, квашню мешать... Да я его и в руки не возьму, только руку как раз испортишь...

Спор о достоинствах кремневых и пистонных ружей велся несколько лет, и каждая сторона оставалась при особом мнении. Николай Матвеич крепко стоял на своем, отчаянно защищая свою кремневку, прослужившую ему верой и правдой всю жизнь. На наши пистонные ружья он смотрел всегда, как на детские игрушки, тем более, что из них нельзя было стрелять пулей.

Я так и уехал в Петербург, оставив спор нерешенным. В Петербурге мне пришлось прожить безвыездно лет пять, и в это время Николай Матвеич умер. Из письма Кости я узнал, что события шли в таком порядке. Сначала умерла «матерешка». Оказалось, что старик очень ее любил, несмотря на видимую

грубость обращения. Когда она лежала в гробу, он украсил его живыми цветами, что поразило всех. Простой дьячок, и такие нежности... Старик сильно тосковал, потеряв скромную подругу своей многотрудной жизни. Вероятно, Емелька воспользовался этим моментом и убедил его, наконец, в преимуществах пистонного ружья. Но тут и случилась настоящая беда. Николай Матвеич «промазал» по оленю... От огорчения или от простуды он слег и больше не вставал.

Лет через пятнадцать после его смерти я был в последний раз на родных зеленых горах; я опять видел Шульпиху, Осиновую, Кирюшкин пригорок, Белую, Седло, Билимбаиху, трех Шайтанов и Старик-Камень. Я объехал верхом эти глубоко родные горы и часто вспоминал покойного Николая Матвеича. Мне иногда казалось, что между деревьями мелькает его крадущаяся тень... И Кости тоже уже не было на свете. Бедняга умер в самом расцвете сил, простудившись на приисковой разведке. Родные места вызвали целый ряд других дорогих теней; но с милыми зелеными

горами неразрывно связывалась тень одного Николая Матвеича, как с домом — тень его бывшего хозяина. Да, это был настоящий хозяин, а зеленые горы служили ему домом...

Горький опыт жизни научил понимать многое, что было недоступно раньше. Только теперь я понял, почему мой отец называл Николая Матвеича философом. Прежде всего, это был созерцатель, живший широкой жизнью всей природы. Она наполняла его существование, заслоняя все остальные интересы, до дьячковской нищеты включительно. Как я отлично теперь понимал Николая Матвеича, когда он в трудные минуты жизни смотрел из своего окошечка на родные зеленые горы. Дома он был только так, временным гостем, как и всякий из нас. Припомнилась мне и одна характерная сцена, происходившая у палаустного (в два ската) балагана Емельки на платиновых промыслах.

Мы запоздали и решили заночевать у Емельки. Спускался темный июльский вечер, и брести десять верст домой не представляло ничего заманчивого, а перед балаганом так приветливо курился веселый огонек, манив-

ший отдохнуть.

— Куда вам торопиться? — приглашал Емелька. — А утром под Шульпихой еще, пожалуй, глухаря убьете...

— Глухаря не глухаря, а рябчиков найдем, — соглашался Николай Матвеич.

— Конечно, останемтесь, — уговаривал я, прельщенный перспективой уснуть именно в палаустном балагане, где дуло со всех сторон, как в форточке.

Мы поели какой-то горячей похлебки, и я прилег в балагане, пока согреется чайник с водой, прилег и сейчас же, конечно, заснул мертвым сном. Вероятно, я так проспал бы до самого утра, если бы меня не разбудил страшный холод. Мои зубы выбивали лихорадочную дробь. К счастью, в чайнике была горячая вода, и я мог согреться.

— Ничего ты не понимаешь, Емелька... — говорил Николай Матвеич, продолжая какой-то бесконечный спор.

— Очень даже могу понимать: одно — богатый, другое — голь перекатная. Вполне понимаю.

— Хорошо. Возьмем богатого... Что он, по-

твоему, два обеда съест или две шубы на себя наденет? Ты раскинь мозгами-то, умная голова...

— Два обеда зачем есть, а вот избу новую поставить, лошадь хорошую завести, шубу справить... Небойсь, все бы тогда вот как Емельке кланялись.

— Дураки бы кланялись... Зачем я буду кланяться, когда он такой же человек да еще, может, и похуже меня? А потом помрет, с собой ничего не возьмет... Бедному и помирать легче. Ты бы выстроил одну избу, — подавай другую, купил одну лошадь, — надо другую, купил шубу, — куплю другую... Стал бы завидовать другим, которые богаче тебя, и последнего бы ума лишился. Да еще сам стал бы обижать бедного-то человека... Ну-ка, подумай?

Емелька только чесал в затылке. И новая изба, и лошадь, и шуба остались неисполнимой мечтой...

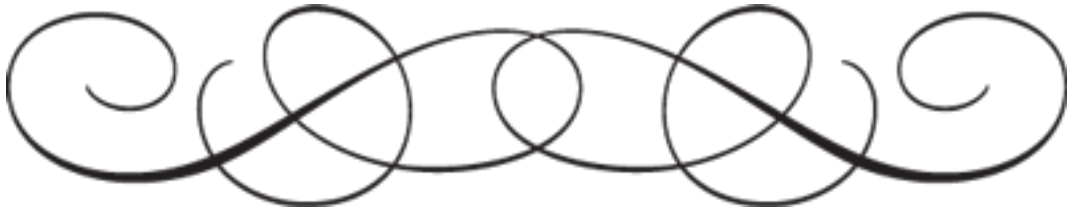
В Николае Матвеиче именно не было той зависти, которая разъедает жизнь других людей. Он никогда не завидовал никому, — по крайней мере я не слыхал ничего подобного. А это — великое дело, когда человек чувству-

ет свою жизнь полной, — он истинно счастлив...

Может быть, я идеализирую своего старого друга, может быть, я не знал других сторон его жизни, но это уже общий удел всех воспоминаний детства... Лично я вспоминаю о Николае Матвеиче с чувством глубокой благодарности.

ЛЕГЕНДЫ

(Из сборника)



Баймаган

I

«Хороша киргизская степь, хорошо голубое небо, которое опрокинулось над ней бездонным куполом, хороши звездные степные ночи, но лучше всего новый кош[425] старого Хайбибулы, в котором он живет вместе со своей старухой Ужиной и молоденькой дочкой Гольдзейн». Так думает молодой Баймаган, работник Хайбибулы, думает и поет:

В небе звезды,
И в коше Хайбибулы звезды...
Там и ночью светит солнце!
А в голове Баймагана,
Мысли, как птицы.

— У меня много-много мыслей, и все они, как степной ковыль, гнутся в одну сторону, —

говорил Баймаган, когда они вместе с другим работником Урмугузом пасли косяк кобылиц. — У Хайбибулы всего много... Старая лисица катается как сыр в масле, а я ничего не возьму за свои мысли, Урмугуз.

— Дурак ты, Баймаган... — лениво отвечает Урмугуз, покачиваясь на высоком киргизском седле. — Какие мысли могут быть у таких бедняков, как мы с тобой?.. Ты глуп, Баймаган, а Хайбибула умен... У Хайбибулы двести лошадей ходит в степи, у Хайбибулы пять лучших иноходцев, у Хайбибулы новый кош, целый сундук с деньгами и красавица дочь. У бедных людей должна быть одна мысль: не лечь голодным спать.

Обидно Баймагану слушать такие слова своего приятеля, который никогда ни о чем не думает, точно киргизский баран. Да, Баймаган — бедняк, но это не мешает ему видеть и слышать то, чего не видит один Урмугуз.

У Баймагана каждый раз дрогнет сердце, как подстреленная птица, когда он вечером с косяком кобылиц возвращается к кошам. Издали эти коши точно потерянные в степи шапки, одна большая и две маленьких. Из

большой в холодные ночи весело поднимается синий дымок — это старая Ужина вечно что-нибудь стряпает, чтобы угодить мужу. Вот около этого огонька в коше старой лисицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка Баймагана, потому что вместе с дымом по вечерам из коша несется песня красавицы Гольдзейн.

II

У Хайбибулы новый кош, который стоит рублей пятьсот, — он из лучших белых кошм, а внутри по стенам развешаны дорогие бухарские ковры. Тут же стоят сундуки, набитые всяким добром — рубахами, бешметами, халатами. У Гольдзейн свой сундук, весь обитый белой жестью, точно серебряный; в нем копится приданое для того счастливца, которому достанется Гольдзейн.

— Кто даст калым в сто лошадей и пятьсот рублей деньгами, тому и отдам Гольдзейн, — хвастается Хайбибула, когда с гостями напьется кумыса. — Будь хоть без головы жених, мне все равно... Сто лошадей и пятьсот рублей деньгами.

Пьяный Хайбибула непременно бранится с

женой и каждый раз повторяет:

— Ты мне надоела, Ужина... Вот получу калым за Гольдзейн и прямо с деньгами поеду под Семипалатинск: там в кошах живут два брата, Кошгильда и Яшгильда, богатые киргизы, и у обоих по молоденькой дочери. Которую хочу, ту и возьму, а тебе, старой кляче, пора отдохнуть.

Когда Гольдзейн весело распевает свои песни, старая Ужина горько плачет, потому что Хайбибула непременно женится на молоденькой и сживет ее, Ужину, со свету. Он уже двух жен в гроб заколотил, а она — третья, и ее заколотит. Старый волк любит молодую козлятину, и погубить человека ему ничего не стоит, а все считают его хорошим, ласковым мужем.

«Лучше уж мне самой умереть...» — думает Ужина, думает и плачет, вспоминая молодое время, когда щеки у ней были румяные, глаза светились, сама была толстая да белая и когда Хайбибула говорил ей льстивые, ласковые речи.

Скоро износилась красота Ужины. Бессонные ночи, работа, дети и мужнины побои раз-

веяли по ветру девичью красоту, а Хайбибула ее же попрекает дорогим калымом.

Никто не жалеет старухи, а Гольдзейн нарочно отвертывается, чтобы не видать слез матери. Глупая девка только и думает, чтобы поскорее выскочить замуж за богатого жениха, а родная мать ей хуже чужой.

Как-то пьяный Хайбибула сильно избил Ужину, и она едва вырвалась от него. Убежала и спряталась за кошем. Ночь была темная, а на душе Ужины было еще темнее. Стала она просить себе смерти, потому что никому-никому, ни одному человеку не жаль ее.

— Эй, Ужина, не плачь... — прошептал над самым ухом старухи знакомый голос.

— Это ты, Баймаган?

— Я... Я все вижу и знаю. Погоди, вот женюсь на Гольдзейн, тогда и тебя возьму к себе. Славно заживем...

— Да ты с ума сошел?.. У тебя ничего нет...

— Э, погоди, все будет... Старая лисица Хайбибула сам будет ухаживать за мной... Вот я какой человек, Ужина!

Это ласковое слово глупого парня согрело душу Ужины, как солнечный луч, и ей сдела-

лось жаль Баймагана: аллах велик, у аллаха всего много, что стоит аллаху бросить росинку счастья на Баймагана? Все может быть...

— Слушай, Баймаган, никогда-никогда не женись на Гольдзейн, — шептала старая Ужина, — в ней волчья кровь... Женись лучше на Макен: вот мой совет за твое доброе слово позабытой всеми старухе.

III

Около коша Хайбибулы в стороне стояли два старых, дырявых коша, в которых жили пастухи и работники. В одном жил кривой пастух Газиз с дочерью Макен, а в другом — Баймаган с Урмугузом. Очень бедно было в коше Газиза, а у Баймагана с Урмугузом совсем ничего не было, кроме хозяйских седел да разной сбруи. Спали оба работника на лошадиных потниках. Сквозь прогоревшие кошмы пекло солнце и лился дождь, точно аллах хотел каждый день испытывать терпение молодых пастухов.

Все хозяйство Газиза вела Макен, и она же постоянно помогала старой Ужине, точно работница, хотя скупой Хайбибула не платил ей ни гроша, разве когда подарит ей обноски по-

сле Гольдзейн. Макен работала, как лошадь, и ходила чуть не в лохмотьях. За работой она пела такие печальные песни и каждый раз смолкала, когда мимо проходил Баймаган.

— Он хороший человек, — говорила Ужина, не называя Баймагана по имени.

— Хорош, да не для меня... — отвечала Макен и тяжело вздыхала.

Аллах мудрено устраивает человеческие дела: Урмугуз любил Макен, Макен любила Баймагана, а Баймаган любил гордую Гольдзейн. Баранчуками[426] они все росли вместе, а потом вышло вон что. Старый Газиз видел все это, но молчал, потому что аллах велик и знает лучше нас, как и что делать. Урмугуз думал про себя, что Макен первая красавица во всей киргизской степи и что Гольдзейн приворожила глупого Баймагана своими песнями и богатыми нарядами. В праздники Гольдзейн всегда щеголяла в шелковом полосатом бешмете, заплетала свои черные волосы в мелкие косички, в уши надевала дорогие, тяжелые серьги, а всю грудь увешивала серебряными и золотыми монетами, которые так весело звенели у ней на ходу.

Баймаган подолгу смотрел на нее с разинутым ртом или старался чем-нибудь услужить. Гордая красавица совсем не замечала Баймагана и только иногда любила посмеяться над ним, особенно когда тут же была Макен.

— Баймаган, скоро у тебя будет сто лошадей и пятьсот рублей денег? — спрашивала Гольдзейн, толкая Макен локтем. — Смотри, мне, пожалуй, надоест ждать, и я как раз выйду за другого... У меня уж есть три жениха.

Гольдзейн весело смеялась, а у Баймагана замирало сердце от этого смеха, и он начинал ненавидеть Гольдзейн. И чем больше она смеялась над ним, тем больше он ее любил.

Проклятых сто лошадей бедный пастух часто видел во сне, а деньги даже искал у себя под изголовьем. Перестала бы Гольдзейн смеяться над ним, когда бы он принес Хайбибуле пятьсот рублей старыми серебряными монетами и выставил в поле свой собственный косяк лошадей... Всего сто лошадей и пятьсот рублей. Баймаган день и ночь стал думать, как добыть дорогой калым, похудел и ходил как в воду опущенный.

Хайбибула прежде сам был беден, и вся

степь знает, откуда пришло его богатство: он сначала сам воровал лошадей по казачьей уральской линии, а потом стал только сбывать краденый скот.

— Это люди болтают из зависти, — говорил кривой Газиз. — Аллах все видит...

IV

Баймаган возненавидел Хайбибулу и за глаза бранил его самыми скверными словами. Тут доставалось и толстому брюху Хайбибулы, и его красному носу, и седой голове, которая думала о молоденьких девчонках. Когда в урочные часы старик выходил из коша на молитву, расстилал под ноги коврик и падал ниц, приложив раскрытые ладони к ушам, Баймаган испытывал глубокое чувство отвращения к этому старому ханже, который хочет обмануть самого аллаха.

— Кажется, я убил бы эту старую лисицу! — говорил Баймаган своему другу Урмугузу. — Его деньги нажиты кровью, он загубил двух первых жен, теперь губит третью и хочет жениться на четвертой, чтобы согреть свою старую волчью кровь молодой... О, как я ненавижу этого Хайбибулу!..

Хитрый старик заметил косые взгляды Баймагана и время от времени любил подшутить над ним. Бессильная злоба бедняка забавляла Хайбибулу.

Раз в праздник, когда в коше и перед кошем сидели гости, Хайбибула сказал Баймагану:

— Баймаган, покажи гнедого иноходца гостям... Впрочем, у тебя заячье сердце, пусть приведет лошадь Урмугуз.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадорить Баймагана и потешить гостей отчаянной скачкой. Гнедой иноходец был еще необъезженной лошадью и никого не пускал на себя. Обида засела глубоко в сердце Баймагана, и он захотел показать перед всеми, что ничего не боится и что Хайбибула напрасно его обижает.

Иноходца едва поймали на два волосяных аркана, подвели к кошу, и Баймаган птицей сел на спину дрожавшей от страха лошади.

— Смотри, упадешь!.. — крикнул вслед Хайбибула. Началась самая отчаянная скачка на необъезженной лошади, старавшейся сбить седока. А Баймаган видел только улы-

бавшееся лицо Гольдзейн, которая смотрела на него из коша вместе с гостями. Да, он приведет лошадь к кошу смирную, как овечку, или ему не видать Гольдзейн, как своих ушей.

Лошадь и человек боролись отчаянно несколько часов. Баймаган уже чувствовал, что лошадь начинает уставать и скоро будет в его руках, как ребенок. Но в этот момент она сделала неожиданный прыжок в сторону, и Баймаган слетел на землю. Все это случилось в одну секунду, и бешеное животное с удвоенной силой понеслось в степь, стараясь освободиться от тащившегося на аркане наездника. Баймаган крепко держал веревку обеими руками и решился лучше умереть, чем выпустить лошадь.

Через полчаса иноходец прибежал один, а Баймагана нашли в степи без чувств. Он лежал весь избитый: голова, лицо и плечи были покрыты глубокими ранами от лошадиных копыт.

V

Баймаган лежит в своем дырявом коше. За ним ухаживает старая Ужина, которая знает

много хороших степных трав. Иногда в кош завертывает Макен и молча садится у входа. Больной никого не узнает и все бредит.

Ему ужасно тяжело и все кажется, что он скачет на проклятом иноходце. Лошадь бьет его задними ногами прямо в голову, и Баймаган страшно вскрикивает. Долго-долго носит его по степи взбесившийся иноходец, а когда он открывает глаза, то видит над собой дырявую кошму своего коша и слышит точно сквозь сон голос Ужины:

— Не шевелись, Баймаган... Будешь жив, если не будешь шевелиться. Все идет хорошо.

Баймаган старается лежать спокойно, хотя ему ужасно хочется приподнять голову — в коше кто-то тихо плачет, а кому плакать о нем, о круглом сироте? Ах, зачем он не умер там, в степи, где носил его иноходец!..

Потом Баймагану вдруг сделалось так легко и так хорошо, совсем хорошо. Он здоров. Нет, будет уж служить старой лисице Хайбибуле!.. Прощайте все: и кривой Газиз, и Урмугуз, и Макен, и Ужина... С Гольдзейн Баймаган не простился, потому что слишком ему было бы тяжело видеть ее насмешливую

улыбку.

— Э, увидимся!.. — утешает самого себя Баймаган, направляясь в степь, где там и сям торчали киргизские коши, точно бритые татарские головы в тюбетейках. — Надо жить, как старая лисица Хайбибула...

Баймаган скоро нашел себе работу — он сделался отчаянным барантачом. По степи он отбивал овец у гуртовщиков, у казаков и русских угонял лошадей, и везде стали бояться одного его имени. Несколько раз он попадался, и его били прямо по голове, точно все знали, где у него самое больное место.

Через несколько лет такой работы у Баймагана был готов весь калым за Гольдзейн, и он орлом полетел к старому Хайбибуле.

— Вот твой калым... — объявил Баймаган, высыпая перед стариком старое серебро.

— Ты — умный человек, — задумчиво говорил Хайбибула, пересчитывая деньги. — Ну, Гольдзейн — твоя... такой красавицы до Семипалатинска не найти. Что же, твое счастье, а я очень рад. Макен тоже вышла замуж за Урмугуза, я и калым платил за него. Давай поцелуемся.

VI

Рядом с кошем Хайбибулы вырос новый кош Баймагана. В последнем жилось очень весело. Гольдзейн по целым дням распевала свои песни, а Баймаган лежал на ковре и пил кумыс. Когда ему надоедало гулять одному, он посылал за Хайбибулой и угощал старика.

— Ты умный человек, Баймаган, — повторял каждый раз Хайбибула и улыбался старым, беззубым ртом. — Стар я стал... Вот и борода седая, и глаза слезятся, и зубы пропали. А когда-то я умел наживать деньги. Надо тебе показать все норы и лазейки, а мне пора отдохнуть.

И старая лисица Хайбибула учил Баймагана всяким плутням, называл всех своих знакомых и товарищей по ремеслу, а Баймаган слушал и удивлялся, что Хайбибула совсем не такой дурной человек, как он думал раньше. Даже очень хороший человек этот Хайбибула, если разобрать; а если он занимается воровством, так не он один грешен перед аллахом.

Когда Хайбибула выгнал старую Ужину и женился на четырнадцатилетней Аяш, дочери Кошгильды, о которой давно говорил, и то-

гда Баймаган не обвинил старика. Хайбибула еще в силах, а Ужина едва волочит свои старые ноги. Так хочет аллах, если одно дерево цветет, а другое сохнет. Конечно, Аяш молода для такого беззубого старика, как Хайбибула, но старику уж немного осталось веселить свое сердце — пусть еще порадуется на конце своих дней.

Старая Ужина пришла к Баймагану и сказала:

— Муж меня прогнал, а я стара... Помнишь, как ты обещал приютить меня, если женишься на Гольдзейн?..

— Я этого не говорил, старая кляча!.. — закричал Баймаган. — Это все ты сама придумала...

Баймагану было совестно за свою ложь, и он еще сильнее рассердился.

— Не наше дело судить вас с отцом, — ответила матери Гольдзейн, потакавшая мужу. — Мы не желаем ни с кем ссориться, а живите себе, как знаете.

Ничего не сказала старая Ужина и ушла. Ее приютил в своем рваном коше Урмугуз.

— Мне уж заодно вас, стариков, кор-

мить, — проговорил он, — вон Газиз живет, живи и ты.

Тесно было в коше Урмугуза, но Макен нашла уголок для старухи, совсем убитой горем. Это взбесило Баймагана.

— Вот нашлись богачи! — ругался он. — Всех полоумных старух да стариков не накормишь.

— Урмугуз, видно, богаче нас с тобой, — прибавила Гольдзейн. — Недаром он столько лет служил у отца, а теперь служит у тебя. Видно, ему выгодно, если может кормить чужих людей.

Баймаган сильно рассердился на Урмугуза, но до поры до времени затаил в своем сердце эту злобу. Урмугуз нарочно взял к себе Ужину, чтобы постоянно колоть ею глаза и ему, и Гольдзейн, и старому Хайбибуле.

— Урмугуз глуп, — шептала Гольдзейн, ласкаясь к мужу, — а это придумала Макен... О, это хитрая и злая женщина!

VII

Киргизская степь была так же хороша, как десять лет назад, так же весной она покрывалась цветами и ковылем, тот же играл по ней

степной ветер, а зимой волком завывали снежные метели; голубое небо так же высоко поднималось над ней, так же паслись по ней косяки киргизских лошадей, а Гольдзейн позванивала своим серебром.

Хорошо жилось Баймагану. Всего у него было много, а когда надоедало сидеть дома, он уезжал куда-нибудь в гости. У богатых людей много хороших знакомых. Когда было лень ехать, Баймаган по целым дням лежал в коше и думал о разных разностях. Всего лучше ему делалось, когда он вспоминал про свое детство. Да, Баймаган вырос у старого Хайбибулы, как бездомная собачонка: спал под открытым небом и питался объедками вместе с хозяйскими собаками. Когда варили махан или салму[427], Баймаган только облизывался издали и был рад, если на его долю доставалась обглоданная косточка, которую бросала ему добрая Ужина. Эти воспоминания делали настоящее еще приятнее, и Баймаган нарочно приглашал Хайбибулу есть салму, чтобы вспомнить про старое.

Однажды, когда они вдвоем сидели около чугунного котла с салмой, старик хитро под-

мигнул, указывая на дочь.

— Ты ничего не замечаешь, Баймаган? — прошамкал он.

— Нет, а что?..

— Я ничего, так... Будто Гольдзейн у тебя постарела. Она будет вылитая Ужина. Вот увидишь... А Макен молодеет. Впрочем, на чужих жен нехорошо заглядываться... Я так сказал. Ну, прощай...

Эти слова глубоко запали в душу Баймагана, хотя он старался о них совсем не думать. Раз он больно прибил Гольдзейн, и когда она стала плакать в своем углу, он занес было руку с нагайкой, чтобы ударить ее по спине, но взглянул на ее заплаканное лицо, испуганные глаза — и рука с нагайкой бессильно опустилась сама собою: на него смотрела старая Ужина, а Гольдзейн, красавицы Гольдзейн, больше не было.

Баймаган начал часто напиваться кумысом, бил жену и все ходил около коша, чтобы хоть издали посмотреть на Макен. Урмугуза он нарочно посылал в дальние киргизские стойбища с разными поручениями, чтобы не стыдно было заходить в его старый кош под

разными предлогами.

Макен стала прятаться от Баймагана, а это еще больше разжигало в нем кровь. Чтобы показать ей свою любовь, Баймаган не упускал случая на ее глазах бить Гольдзейн по чему попало, а потом отнял у жены все украшения и спрятал их в свой сундук. Кривого Газиза он поил самым хорошим кумысом и называл дядей. А Гольдзейн от побоев и слез делалась все больше похожей на свою мать, и Баймаган старался не смотреть на нее.

«Надо избыть Урмугуза, а потом я женюсь на Макен, когда она останется вдовой, — подумал Баймаган. — Гольдзейн пусть служит ей, как раба...»

VIII

Урмугуза не стало. Много так пропадает в степи. Чужие люди обвиняли Баймагана, что он подослал убийц к своему работнику, а сам женился на его вдове.

А Баймаган ничего не хочет знать, что говорят про него люди. Он по целым дням лежит на ковре вместе с Макен, а Гольдзейн прислуживает им, старая некрасивая Гольдзейн. Но Макен такая печальная, и Баймагана

тянет выйти из коша; рядом в коше старого Хайбибулы каждый раз на шум его шагов отодвигается край ковра, которым прикрыт вход, и оттуда смотрят прямо в душу Баймагана два темных глаза, а из-за белых зубов сыплется беззаботный детский смех. Это молодая Аяш смотрит на Баймагана, и у него темнеет в глазах.

«Обманул меня Хайбибула, — думает он. — Макен все думает о своем Урмугузе... Ей скучно со мной».

Не спится по ночам Баймагану, а вместе с ночным холодом ползет к нему в кош ласковый девичий шепот, — о, он знает этот голос, который хватает его прямо за сердце! Нужно было отправить на тот свет не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибулу: Будет ему грешить, а Аяш еще молода.

Темнее ночи ходит Баймаган и все думает о старике Хайбибуле, — может быть, старая лисица сам догадается умереть.

Отточил острый нож Баймаган и ночью, как змея, заполз с ним в кош Хайбибулы. Вот уж он слышит ровное дыхание спящей Аяш, а рядом с ней на постели, под шелковым бухар-

ским одеялом, храпит Хайбибула. Баймаган подполз к изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибулу прямо в сердце, — он пригляделся к темноте и теперь хорошо различал спавших, — но, заглянув в лицо старику, Баймаган остолбенел: это лицо смеялось своим беззубым ртом, а старческие слезившиеся глаза смотрели на него в упор.

— Ну, чего ты испугался?.. — шепчет Хайбибула, а сам все смеется и смотрит на него. — Делай то, за чем пришел...

Страшная ярость закипела в груди Баймагана, хочет он поднять руку с ножом, но у него нет больше силы, — рука висит, как плеть.

— Убил Урмугуза, убивай и меня, — шепчет Хайбибула. — Аяш моложе твоих жен... Ты умный человек, Баймаган. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо в голову, и он почувствовал, как на его голове открываются старые раны от лошадиных копыт и как он сам начинает весь леденеть. Жизнь быстро выходит из него вместе с горячей кровью, а старый Хайбибула делался все дальше и дальше, и только далеко-далеко, точно из-

под земли, доносился его страшный дребезжащий смех и тот же шепот:

— О, ты умный человек, Баймаган!..

Баймаган крикнул, объятый ужасом, и сам испугался своего голоса, точно это кричал не он, а какой-то другой голос.

— Тише, тише... не шевелись, Баймаган, — шептал над ним голос старой Ужины, чьи-то руки удерживали его голову.

IX

— Так это был сон?.. — спрашивал Баймаган, когда пришел в себя и увидел, что попрежнему лежит в своем дырявом коше, а около него сидит старая Ужина и уговаривает его, как ребенка.

— Ты сорвал повязки с головы и чуть не истек кровью... — шептала ласково старуха. — Отчего ты так страшно крикнул?..

— Не спрашивай... после расскажу. Я дурной человек... я хуже всех других, Ужина.

Баймаган поправился, но сделался таким задумчивым и печальным, что никто не узнавал в нем прежнего молодца.

— О чем ты думаешь, Баймаган? — спрашивала его Макен.

— Дорогая Макен, прежде я думал всегда о себе, — отвечал ей Баймаган, — думал, как бы мне устроиться лучше других. А теперь мне жаль всех людей, потому что я все вижу и все понимаю... Да, понимаю все и понимаю то великое зло, какое сидит в каждом человеке и обманывает всех. Мне иногда делается страшно за то зло, которое и в нас и вокруг нас. Я был глуп и ничего не понимал, но за одно доброе слово, которое я сказал несчастной старухе, аллах показал мне мою собственную душу.

Через год Баймаган женился на Макен.

Лебедь Хантыгая

I

— Где хаким[428] Бай-Сугды? Где лебедь Хантыгая? — спрашивал Бурун-хан своих придворных. — Отчего мои глаза не видят славу и гордость моего государства? Где он, слеза радости, улыбка утешения, свет совести, — где хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши[429] и князьки, присутствовавшие в палатке Бурун-хана, опустили головы и не смели взглянуть на своего повелителя, точно они все чувствовали себя виноватыми. В сущности, они просто боялись огорчить Бурун-хана печальным известием и вызвать его неудовольствие.

— Отчего вы все молчите? — спрашивал Бурун-хан, грозно сдвигая седые брови. — Отчего никто из вас не хочет сказать правды?.. Впрочем, это смешно — требовать правды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слепотой, глухотой и бездеятельностью... Один хаким Бай-Сугды говорил мне правду, а я не вижу его.

Еще ниже наклонились старые и молодые головы мурз, беков, тайшей и князьков, и опять никто не посмел проронить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед красавица Джет, любимая дочь Бурун-хана, и, преклонив одно колено, сказала:

— Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась сказать тебе то, о чем молчат другие.

Седые ханские брови распрямились, морщины на ханском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело: разве найдется такой человек, который может рассердиться на красавицу Джет?

— Говори, Джет, моя газель.

— Отец, хаким Бай-Сугды уже давно совсем изменился, так что ты его не узнаешь... Он больше уже не складывает своих чудных песен, которые распевает весь Хантыгай. Да... Хаким Бай-Сугды заперся в своей палатке и никуда не выходит. Вот уже полгода, как он заскучал, а его жены проплакали сбои глаза... Кто-то попортил солнце Хантыгая, и оно скрылось за тучу.

Хан опять нахмурился и велел привести

хакима Бай-Сугды, а красавица Джет поместилась за шелковой занавеской. Когда старый хаким, с длинной седой бородой, вошел в палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе и запела самую лучшую песню, какую только когда-нибудь сложил Бай-Сугды:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Никто в целом Хантыгае не умел петь лучше Джет, и все лица повеселели, а Бурун-хан посмотрел на хакима с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, как живое зеркало Бурун-хана. Один хаким Бай-Сугды стоял перед ханом, опустив глаза, и на седых ресницах у него повисли слезы.

— Хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сделалось с тобой? — спросил Бурун-хан. — Никто тебя не видит... Может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Может быть, износилось твое платье? Может быть, твои стада постигло несчастье? Может быть, наконец, ты недоволен мной?..

Поднял голову хаким Бай-Сугды и сказал:

— Всем я доволен, Бурун-хан, и все у меня есть, даже больше, чем нужно одному человеку... Я, как пылинка в солнечном луче, купаюсь в твоей милости.

— Может быть, похолодело твое сердце, хаким Бай-Сугды, и нужна новая пара газельих глаз, чтобы воскресить в нем молодую радость?..

— О, Бурун-хан, у меня семь жен, семь красавиц, и мне достаточно молодых радостей, — с горькой усмешкой ответил седой хаким.

— Что же тебе нужно, Бай-Сугды? Проси все — и я все сделаю для тебя... Ты выше меня, потому что я сейчас хан, а завтра меня съедят черви, а ты умрешь — после тебя останутся живые чудные песни... Ханов много, а хаким Бай-Сугды — один.

— Бурун-хан, у меня есть к тебе просьба: пусть красавица Джет не поет больше моих песен... И пусть другие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не видит беды, не видит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой коршун уже летает

над моей головой, и я чувствую, как веют его крылья...

— Неужели ты, мудрейший из людей, испугался смерти?

— Нет, хан, не смерти я боюсь, а того, зачем я жил так долго... Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше песен... Давно углубился я в ученые книги, в это море мудрости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чувствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманывал их сладким голосом и молодых и старых людей, я сулил им никогда не существовавшие радости, я усыплял душу запахом роз, а вся наша жизнь только колеблющаяся тень промелькнувшей в воздухе птицы... Горя, несчастий, нужды и болезней целые моря, а я утешал и себя и других одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют на меня тоску. Бурун-хан, чем больше я читаю мудрые книги, тем сильнее вижу собственное безумство... Отпусти меня, хан! Я пойду в другие государства и найду великих подвижников, которые целую жизнь провели в созерцании и размышлени-

ях; у них истина жизни, которой я хочу поучиться. Вот моя вторая просьба...

Задумался Бурун-хан: жаль ему стало певца Бай-Сугды, славу и гордость Хантыгая. Что же останется, когда улетит этот лебедь? Но хаким Бай-сугды так сильно изменился, и путешествие будет для него лучшим лекарством.

— Хорошо, хаким Бай-Сугды, пусть будет по-твоему, — согласился Бурун-хан. — Иди, куда хочешь, но только возвращайся, а пока ты путешествуешь — в Хантыгае не будут петь твоих песен. Иди, отыщи истину и принеси ее нам...

II

Ханство Хантыгай было очень большое, но в нем хаким Бай-Сугды не знал никого, кто был бы его ученее. Он быстро собрался в путь, нагрузил трех верблюдов всем необходимым для далекого путешествия, взял десять человек слуг и отправился в соседнее Царство Чубарайгыр, где жил знаменитый хаким Тююзак.

Целых три недели шел караван до границы. Хантыгай и Чубарайгыр много лет воевали между собой, разрушали города, пустоши-

ли населенные местности, убивали тысячи людей и тысячи людей уводили в плен. Счастье было изменчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска изнемогали, запасы истощались и общая нищета заставляла мириться на время. Ханы уверяли друг друга в дружбе, а сами потихоньку готовились к новой войне, чтобы напасть врасплох, Поэтому, когда караван хакима Бай-Сугды показался на границе, то оберегавшая ее стража сейчас же схватила верблюдов, а самого Бай-Сугды объявила пленником чубарайгырского хана Майчака. Пленника представили прямо хану, но когда Майчак узнал, с кем имеет дело и зачем хаким Бай-Сугды заехал в его государство, то предложил ему богатые дары и отпустил.

— Твои песни, хаким, открывают тебе везде счастливый путь, — сказал хан Майчак, счастливый, что видел знаменитого певца. — Если бы у меня был твой дар, я бросил бы свое ханство. Бог тебя да благословит. На обратном пути не забудь навестить меня.

Отправился хаким Бай-Сугды дальше. Ему нужно было проехать опасную Голодную степь, где торговые караваны подвергаются

нападению степных разбойников. Так случилось и с ним. На третий день пути караван хакима был окружен разбойниками. Они перевязали слуг и принялись развязывать тюки. Хаким Бай-Сугды не сопротивлялся, а спокойно смотрел на их работу. Это удивило разбойников.

— Разве тебе не жаль своего добра? — спросили они. — Кто ты такой?..

— Я хаким Бай-Сугды из Хантыгая.

— Лебедь Хантыгая?..

У разбойников опустились руки. Они навьючили снова верблюдов, развязали слуг и, не воспользовавшись ничем, отпустили знаменитого певца.

— Мы грабим только купцов и богатых людей, — объяснили они в смущении. — Будет проклят тот человек, который вырвет хоть одно перо из белого крыла лебедя Хантыгая... Твои песни открывают тебе счастливый путь.

Когда караван тронулся в путь, один из разбойников запел:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Опять та же песня, и опять она огорчила хакима Бай-Сугды до глубины души, напоминая ему о его прошлом безумии, преследовавшем его всюду, как бежит тень за человеком.

«О, это мое проклятие! — думал хаким Бай-Сугды, закрывая глаза. — Моя песня преследует меня черной тенью».

За Голодной степью начинались дикие горы, в которых жил Тююзак. С величайшим трудом достиг караван до глубокой горной долины, где жил славный хаким. Жилищем ему служила пещера, выкопанная в горе. Путешественники нашли отшельника на берегу горного ключа: здесь он предавался созерцанию. Хаким Бай-Сугды подошел к нему и поклонился.

— Хаким Тююзак, я пришел к тебе издалека, чтобы напиться от ключа твоей мудрости...

Тююзак с удивлением посмотрел на пришельца своими столетними глазами и строго проговорил:

— Мудрость не возят на верблюдах... Мудрость не нуждается в пышной одежде. Ты только напрасно потерял свое время...

Два дня провел Бай-Сугды у Тююзака в душевной беседе. Он рассказал отшельнику всю свою жизнь: как он был молодым и бедным байгушом и как прославился на весь Ханты-гай даром песен; как осыпал его богатством и почестями Бурун-хан, как он сам возгордился своими песнями, которые распевал весь Ханты-гай, и как он в конце концов задумался, зачем он прожил свою жизнь, и как ошибся, принимая за счастье его обманчивую тень. Столетний Тююзак, с пожелтевшими от старости волосами, выслушал его внимательно и сказал:

— Вся твоя беда в том, Бай-Сугды, что ты свое счастье искал в чем-нибудь внешнем. Ты рад бы был захватить все стада Хантыгая, все золото, все платье, всех красивых женщин. Но ведь ты не поедешь на десяти лошадях разом, не наденешь десять халатов, не съешь и не выпьешь за десятерых. Твое богатство тебя давило, как ярмо... Вот и теперь, зачем тебе эти верблюды, слуги, тюки с имуществом? Не легче ли тебе идти одному и думать только о себе?

— Ты прав, Тююзак, — согласился Бай-Суг-

ды. — Жаль, что я раньше не подумал об этом.

Он разделил свое имущество между слугами и отпустил их домой.

— Бай-Сугды, ты сделал еще не все, — сказал Тююзак, — ступай в ханство Шибэ, там живет мудрейший из хакимов, Урумчи-Олой... Он тебя научит всему.

От ханства Хантыгая до ханства Чубарайгыра хаким Бай-Сугды ехал три недели, от хана Майчака до хакима Тююзака он ехал тоже три недели, а от хакима Тююзака до хакима Урумчи-Олоя он уже шел пешком целых три месяца. На нем оставалась самая простая одежда из верблюжьей шерсти, какую носили бедные пастухи, а за плечами в тяжелой котомке он нес необходимые припасы для своего пропитания. Дорога была трудная, горами, лесами, с трудными переправами, но Бай-Сугды все шел вперед, счастливый уже тем, что благодаря Тююзаку освободился от лишней тяжести. В самом деле, для чего ему эти верблюды, слуги и тюки, когда одному человеку так немного нужно?

Хаким Урумчи-Олой, старец ста двадцати лет, жил под открытым небом. Он так оброс

волосами, что должен был приподнять свои нависшие, тяжелые от старости брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до колен. Сквозь рубище выглядывало желтое худое тело.

— Бог да благословит мудрейшего из хакимов! — приветствовал его Бай-Сугды, кланяясь до земли.

Он рассказал Урумчи-Олою про себя все, как и Тююзаку, и еще прибавил, что, кроме богатства, его угнетала страстная любовь к женщинам. Да, Бай-Сугды не мог пропустить ни одного хорошенького личика и лучшие свои песни слагал для обольстительных черных глаз. У него было семь красавиц жен, которых он любил, когда они были молодыми. Что лучше цвета женской молодости, девичьей красоты и покорной ласки темных глаз?.. Теперь он стар, но и сейчас женская красота зажигает в нем молодой огонь страстных желаний. Эта жажда томила его целую жизнь и не получила удовлетворения.

— Что ты ел, Бай-Сугды? — сурово спросил Урумчи-Олой, опуская брови.

— Я ел все, что только мог достать...

— Огонь преступных желаний в нас от пищи... Не ешь мяса, не употребляй пряностей и вина, и он потухнет сам собой. Нужно изнурять свое тело трудом, постом и созерцанием, и только тогда ты приблизишься к истине. Человек, поевший свиньи, сам делается свиньей, а отведавший крови делается кровожадным... Один мужчина не может любить семь женщин, если он будет жить так, как я сказал. Что такое женщина? Это обман... Он проходит вместе с первой ночью. Посмотри на старую женщину, куда девалась ее красота и то, чему ты слагал свои песни? Но я еще не достиг совершенства, Бай-Сугды... Иди в ханство Катун, там на большой реке спасается великий хаким Эрьгуудзль. От него все узнаешь...

Горько заплакал хаким Бай-Сугды. И Тююзак и Урумчи-Олой сказали ему правду, заглянув на дно его сердца. О, сколько неправды, зла и похотей он носил в себе целую жизнь и разжигал своими песнями в других... Бай-Сугды бросил свою котомку в пропасть, где по ночам выли шакалы, а сам пошел вперед пешком и босой, с одной палкой в руке.

III

От Урумчи-Олоя до Эрьгуудзля хаким Бай-Сугды шел три года. Сколько опасностей он перенес, сколько труда... Пришлось идти через каменистые горы и страшным лесом. Одежда давно износилась и висела лохмотьями, сквозь которые сквозило пожелтевшее, высохшее тело, а ноги были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпел хаким Бай-Сугды, чтобы достигнуть совершенного из людей и услышать от него слово последней мудрости. Питался он дикими плодами, кореньями и травой, как дикий зверь, и успел позабыть, какой вкус у мяса, сладких вин и сладких плодов. Несколько раз он лежал больной в лесу один и со смирением ждал своего смертного часа. Но богу было угодно, чтобы его подвиг наградился успехом. Это было в конце третьего года, когда уже стояла весна и все кругом цвело и ликовало. Хаким Эрьгуудзль жил на берегу громадной реки Чэчэ, и хаким Бай-Сугды заплакал от радости, когда издали увидел ее светлые воды, покоившиеся в зеленых берегах. Место было самое красивое, какое только можно себе предста-

вить.

— Бог да благословит хакима Эрьгуудзля! — сказал хаким Бай-Сугды, приближаясь к шалашу из пальмовых листьев.

Ему навстречу вышел свежий еще старик с красивым лицом, в чистой одежде и с крепким телом. Именно такого старика хаким Бай-Сугды не ожидал встретить.

— Ты устал? Ты хочешь есть? Ты истомился жаждой? Ты нуждаешься в одежде? — спрашивал Эрьгуудзль, ласково улыбаясь. — Вот река Чэчэ, сначала ступай напейся и умойся...

— Я хаким Бай-Сугды, из Хантыгая, — говорил Бай-Сугды в смущении. — Мое прозвище: лебедь Хантыгая...

— Так это ты тот самый Бай-Сугды, который сложил песню:

Алой розой смех твой заперт...

О, я рад тебя видеть, лебедь Хантыгая, и позволь мне омыть твои израненные ноги, одеть тебя в новое платье и поцеловать, как дорогого гостя. Твои чудные песни долетели и до меня, как залетают редкие птицы в далекие страны.

Они пришли к реке, и хаким Бай-Сугды с жадностью припал к светлой прохладной влаге. Эрьгуудзль смотрел на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолил жажду и поднялся на ноги, Эрьгуудзль с удивлением его спросил:

— Что же ты, лебедь Хантыгая? Ведь тебя томила смертная жажда, а ты не выпил даже этой реки.

Бай-Сугды подумал, что хаким шутит, и ответил:

— Все мы, когда томит нас жажда, думаем, что целое море воды не утолит ее.

Хаким Эрьгуудзль ласково засмеялся и указал на дикую козу, которая на берегу реки общипывала молодой куст.

— Как ты думаешь, лебедь Хантыгая, вырастет это дерево, если коза каждый день будет приходить и ощипывать самые свежие листочки? — спросил он.

— Нет, оно засохнет...

Хаким Эрьгуудзль опять засмеялся, а хаким Бай-Сугды задумался.

Так они прожили три дня. Хаким Бай-Сугды успел отдохнуть, освежился и переменил свое рубище на чистую одежду. Он нарочно

ничего не говорил о цели своего путешествия, ожидая первого слова от Эрьгуудзля, а хаким делал такой вид, точно давно ожидал Бай-Сугды и рад его видеть, как брата. Только на четвертый день Эрьгуудзль заговорил:

— Лебедь Хантыгая, тебе можно сейчас отправиться домой: ты отдохнул, подкрепил себя пищей и прикрыл тело новой одеждой... Мне не хотелось огорчать тебя, что ты напрасно потерял столько времени и перенес столько трудов и опасностей; тебя привела сюда твоя гордость и желание быть лучше других. Иди домой и пой свои песни... Каждая слеза, осушенная твоей песнью, и каждая улыбка радости, вызванная ею, — такое счастье, о котором не смеют мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, которой ты и сам не замечал... Она помрачила твое светлое око, и мир тебе показался темным. Ты надеялся на свой ум, но это самый лукавый из слуг, который старается подать тебе то, чего ты еще не успел пожелать... Счастье наше в одном дне, а правда жизни в своей совести. Ведь жизнь так проста, хаким Бай-Сугды, и ее смысл совсем не в том, что ты будешь есть

или во что будешь одеваться. Голодный и голый человек не сделается справедливее оттого только, что он гол и голоден.

— Все это я понимаю, хаким Эрьгуудзль, и согласен с тобой, — отвечал Бай-Сугды, — но как же спать спокойно, когда вся наша жизнь ничто перед смертью... Никакая добродетель, никакой ум, слава и красота не спасают от уничтожения.

Хаким Эрьгуудзль весело рассмеялся.

— Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не существует... Смерть — это когда ты думаешь только об одном себе, и ее нет, когда ты думаешь о других. Как это просто, лебедь Хантыгая!.. Созревший плод падает на землю — разве это смерть?..

И просветлела душа Бай-Сугды от этих простых слов, и понял он то, чего не досказал хаким Эрьгуудзль: испугала его своя старческая слабость, затемнившая на время свет сердца...

Через десять лет вернулся лебедь Хантыгая домой, и пронеслись по всему ханству его новые песни, как прилетевшие весной птицы: он пел о счастье трудящихся, о счастье доб-

рых и любящих, о счастье простых... Эхом повторяли эти песни и пастухи в степи, и пахарь за плугом, и молодая девушка за прялкой, и старики, согревавшие свое холодевшее тело около огня.

Майя

I

Шум жестокой сечи стихал... Разбитый наголову неприятель бежал, оставив победителю родной город Гунхой. Часть победителей порывалась в погоню, без пощады убивая всякого, а другая часть, с ханом Сарымбэть во главе, приготовлялась занять открытый город. Издали это был настоящий пчелиный сот из низеньких белых домиков с плоскими кровлями, глухими белыми стенами и узкими грязными уличками. Отдельно возвышались куполы мечетей и стройные иглы минаретов, отдельно стоял дворец бежавшего хана Олоя, потонувший в зелени садов.

— Пленных не будет, — говорил молодой хан Сарымбэть, подъезжая к городским воротам. — Победу дает аллах... Город будет могилой для тех, кто был нашим врагом больше

ста лет. Развалины покажут нашим потомкам, как мы умели мстить нашим врагам. Пленных не будет, а победу дает аллах.

Красив хан Сарымбэть, молод, полон отваги — настоящий молодой лев, который в первый раз отведал горячей крови. Но жестокие слова сказал не он, а их придумала старая голова главного ханского советника Кугэй. Беззубый старик точно для того прожил восемьдесят лет, чтобы внушить молодому хану жестокие слова.

— Так нужно, хан, так нужно, — шамкал старик, едва держась в своем мягком седле. — Аллах дает победу, но нужно уметь ею воспользоваться... Недаром наша кровь лилась целых сто лет. Огонь гасят огнем, а кровь кровью.

Хищный старик заметил колебание на лице молодого хана, в его глазах мелькнула жалость, и Кугэй залил ее ядом своих старых слов.

Молча махнул рукой хан Сарымбэть, и тысячи всадников ринулись грабить беззащитный город, в котором оставались старики, женщины и дети. С гиком неслась страшная

смерть... В городе некому было даже защищаться, а только протягивались беззащитные руки с мольбой о пощаде. Но ханское слово — закон, и пустела одна улица за другой, каждый шаг вперед усеян был трупами, а по канавам лилась кровь, как вода. Кто умирал под ударом сабли, кто был приколот пиками, многие растоптаны лошадиным копытом, а детей разбивали головками о каменные стены родных домов. Это была настоящая бойня, целый ад... Тысячи людей столпились на базаре, в мечетях и около мечетей — их и убивали тысячами, точно человеческую жизнь косила острая коса, а смерть висела в воздухе.

Хан Сарымбэть смотрел на побоище из своей ставки и слышал только отчаянные вопли, заглушаемые веселым гиканьем победителей. Восточная часть города уже горела, и некому было тушить огонь. Показалось облако дыма и в противоположной стороне.

— Я хочу видеть город, — заявил хан Сарымбэть.

Старый Кугэй нахмурился, но спорить не смел.

Хан Сарымбэть въезжал в Гунхой, окру-

женный блестящей свитой, точно всходило утреннее солнце. Несчастный город был завален трупами, залит кровью, лютое пламя довершало жестокое дело человеческих рук. Не смущалось сердце хана пылом кровавой сечи, когда он летел впереди других, а тут и он задумался, когда редкой красоты его боевой конь начал храпеть и шарашиться в сторону при виде теплых трупов. Убитые старики, женщины и дети загораживали дорогу. Белые стены сбитых из глины домиков были обрызганы кровью. Лошадь хана фыркала и дрожала. Сам хан Сарымбэть опустил голову, пораженный страшной картиной всеобщего избиения. А там — заваленный трупами базар, площадь перед мечетью... трупы, трупы и трупы.

Оставался нетронутым один ханский дворец, оцепленный стражей. В нем было тихо, как в могиле.

— Едем назад, — сказал Кугэй.

Но тут случилось что-то необыкновенное. Из дворца вырвалась целая толпа женщин и бросилась навстречу молодому победителю. Они бежали с распущенными волосами, обе-

зумев от страха, бросались ниц, моля о пощаде. Другие хватались за стремена и целовали ханские ноги, полы его халата, его кривую саблю.

— Бей! — скомандовал Кугэй.

Началось избиение... Это было самое ужасное, что только видел хан Сарымбэть. Женщин и детей топтали лошадьми, резали и кололи. Вид этой резни отуманил и его голову. Ведь эти женщины — матери, жены, сестры и дочери его исконных врагов, они родили проклятое племя гунхой, они призывают своими воплями и слезами только свою бессильную ненависть к нему, они, вот эти женщины, выкололи глаза его деду, попавшемуся в плен, то есть их бабушки, они народят еще несметное число его врагов, а счастье переменчиво. Вперед!.. Ханский конь врезался в живую толпу, а ханская сабля косила головы направо и налево. О, разве может быть счастье больше, как видеть поверженного в прах своего злейшего врага и наслаждаться его предсмертным хрипением... Вперед! Бей! Пленных не будет...

Ханский скакун вылетел вперед и вынес его к дворцу. Вот оно, это проклятое гнездо.

Хан Сарымбэть в пылу погони на коне въехал прямо во дворец. Здесь тоже было много женщин... Одни лежали ниц, другие, стоя на коленях, поднимали кверху маленьких детей... Нет никому пощады! Кугэй ворвался во дворец следом за ханом, и началась страшная резня.

— Бей... бей... бей!..

В одной из дальних комнат дворца хан увидел сидевшую на ковре молодую женщину поразительной красоты. Она сидела, обняв колени руками, и не шевелилась, не молила о пощаде, не плакала, а с достоинством ждала своей смерти. Старый Кугэй, задыхавшийся от кровавой работы, подбежал к ней и уже замахнулся саблей, но хан Сарымбэть протянул руку.

— Кто ты, женщина? — тихо спросил он.

— Я — Майя.

Она даже улыбнулась и злобно посмотрела на него своими темными, как ночь, глазами. Кугэй скрежетал зубами от ярости. А хан Сарымбэть сделал уже знак, что дарует жизнь смелой женщине, позабыв собственный приказ о всеобщем истреблении.

II

Город Шибэ торжествовал, ожидая возвращения победителей. Да, проклятое племя гунхой было уничтожено, город Гунхой срыт до основания, и не осталось в нем камня на камне. Такова воля аллаха... Племя шибэ и племя гунхой враждовали издревле, как враждует собака с волком, и вот свершилось то, чего не могли предугадать самые умные. Гунхоя нет, а есть Шибэ...

Возвращавшийся в свою столицу хан Сарымбэть был встречен, как молодой месяц. Многотысячная толпа ликовала, везде горели веселые огни, слышались веселые песни и клики радости.

— Да живет хан и да радуется ханское сердце!..

Грустен возвращался один старик Кугэй. Воля аллаха не была исполнена, и ханское слово изменило самому себе. Много добычи взяли с собою войска, и великая радость ожидала их у себя дома. Но старого Кугэя беспокоила пленница, которую везли вместе с добычей в Шибэ. И для чего она понадобилась хану Сарымбэть? Разве не стало у него своих

женщин: тридцать жен, тридцать прислужниц — можно еще столько же добыть. Так нет, увидел Майю и везет ее к себе, точно сокровище.

— Майя была наложницей Олой-хана, — шептал Кугэй хану Сарымбэть, чтобы возбудить в последнем чувство ревности.

— Знаю... — коротко отвечал молодой хан. — Ты можешь прибавить, Кугэй, что Майя во дворец попала уже не девушкой. Она попала пленницей... Ее муж — степной батырь.

— Ее муж, хан?.. Вот цветок расцветает в поле и дает плод, — разве у него есть муж?.. Не один батырь был у Майи... Она переходила из рук в руки, как старая монета.

— Старые золотые монеты ты сам любишь, Кугэй... — смеялся хан. — Они имеют только один недостаток, именно, принадлежат только тому, кто их держит в руках.

Шибэ веселился, а Майя сидела в ханском дворце и горько плакала. Да, у нее теперь явились и слезы... Зачем она не умерла вместе с другими?.. Страшно жить... Она часто просыпалась ночью и вздрагивала: перед ее глаза-

ми проносилась ужасная картина. Отчаянный крик матерей, защищавших своих детей, стоны раненых, мольбы о пощаде и смерть, смерть, смерть...

У Майи было свое отдельное помещение во дворце, куда никто не смел входить, кроме хана Сарымбэть. Да, он пришел к ней, но не как к пленнице, а как слуга.

— Не нужно ли тебе чего-нибудь, Майя? У тебя заплаканные глаза... Может быть, с тобою дурно обращаются?..

Майя сделала отрицательное движение головой.

— Может быть, ты оплакиваешь хана Олоя? — тише спросил Сарымбэть.

— Нет...

— Что же тебе нужно?..

— О, если бы у меня было столько глаз, сколько у ночи звезд, то и тогда я не выплакала бы всего своего горя... Вот ты радуешься, ты счастлив, а мне тебя жаль. Оставь меня с моим горем... Тебе — радость, мне — горе.

— Знаю, ты оплакиваешь своего батыря! — гневно сказал Сарымбэть. — Женщина принадлежит только тому, кто первый ее взял...

И всей крови, пролитой в Гунхое, не хватит на то, чтобы смыть с тебя одно имя твоего батыря. Я все знаю, Майя...

— Убей меня, хан! Я желаю умереть...

Заскучал молодой хан Сарымбэть, и ничто ему не мило. Так и тянет его к Майе, а пришел туда и — слов нет. Чужими глазами она смотрела на него... Не то ему было нужно. Самому себе удивляется хан Сарымбэть, — так приворожила его полонянка Майя. Да, и ночью он ее видит, и протягивает руки, и говорит ласковые слова, а днем смелость оставляет его, и хан бродит по своим садам, как потерянный. Не мил ему и собственный дворец, не милы и любимые жены, и охота, и всякие другие удовольствия. Ничто не мило хану, и ходит он по собственному дворцу, как тень.

— Майя... Майя...

Иногда он сердится на нее, припоминая ее батыря и хана Олоя. «Да, ты вот кого любила, Майя... Ты думаешь о своих любовниках. О, змея, змея... Мало было убить тебя, а нужно замуровать живой в стену. Нужно отрубить руки, обнимавшие батыря, вырвать язык, лепетавший любовные слова, выколоть глаза,

глядевшие на хана Олоя ласково... вырвать живым это змеиное сердце, бившееся для других!» — И много таких жестоких мыслей роится в голове хана, а увидит Майю, оробеет сам, чувствуя, как бессилеет тело и путаются мысли в голове.

— Ты меня спрашивал, что мне нужно, — проговорила однажды Майя, глядя на него своими темными глазами. — Да, мне нужно... Когда я умру, похорони меня в степи, в вольной степи, где гуляет вольный степной ветер... Есть там озеро Кара-Куль: на его берегу похорони меня. Не нужно мне ханской могилы, не нужно тяжелых камней на могилу.

— Все будет исполнено, Майя, но зачем ты говоришь о смерти?..

— О, я скоро умру, хан... я знаю это.

И опять молчит Майя, только смотрит на молодого хана своими большими глазами. Жутко сделалось хану Сарымбэть, опустил он свои глаза и чувствует только, как замирает в груди его собственное сердце. Приворожила его Майя... Ах, если бы она хоть раз взглянула на него ласково — он сам готов умереть. Но смотрит Майя по-прежнему чужими глаза-

ми...

Старый Кугэй давно заметил, как изменился хан Сарымбэть. Похудел, сделался задумчив, перестал улыбаться и не желал ни с кем говорить.

— Скучает хан... — говорил вкрадчиво хитрый старик. — Позволь старому Кугэю зайти к Майе, и он вышиб бы из нее своей нагайкой память о батырях и хане Олое... А любовь Майи в твоих руках. Когда я был молод, то брал любовь силой!..

— Ах, не то... — стонал хан Сарымбэть. — Мало ли у меня своих красавиц? Не то, старый Кугэй... Ты поглупел от старости.

— Я поглупел?.. — смеялся зло старик. — Я поглупел, старый Кугэй? А кто говорил тебе, чтобы не брать пленных из Гунхоя? Вот теперь ты сам сидишь в плену у ничтожной пленницы... И какой хан — молодой, красивый, храбрый! Хочешь, добудем десять новых красавиц, десять новых жен... Одна другой краше, как цветы в поле, а Майя пусть им служит. Вот как сделаем, хан, а ты говоришь: «Кугэй — старый дурак».

III

Так прошло полгода, а через полгода гордые глаза Майи опустились сами собой, когда вошел к ней хан Сарымбэть.

— Что с тобой, Майя? Ты нездорова?

Она отвернулась.

— Майя...

— Нет больше Майи... Зачем ты пришел сюда? Уходи к своим женщинам... Там каждый взгляд куплен, каждая улыбка — насилие. Они все готовы сделать для своего повелителя, потому что рабыни не телом, а всей душой. Они ждут тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. Это были знакомые ему слова женской ревности. Майя начинала его любить и сердилась на самое себя. Да, вот это не берется ни насилием, ни деньгами. О, велика сила любви, и приходит она против воли человека, как пожар.

Тихо подошел хан Сарымбэть к Майе, обнял ее и прошептал:

— Я давно тебя люблю, Майя... Люблю с первого раза, как увидел.

Задрожала Майя, как молодая зеленая травка, закрыла глаза и ответила:

— Твоя любовь убьет меня... Я это чувствую.

— Ты скажи, Майя: ты любишь меня?

У нее не было слов, а только протянулись теплые руки, и счастливое лицо спряталось на груди хана.

На другой день Майя сказала хану:

— Я тебя вчера любила, а сегодня ненавижу...

— За что же, моя радость?

— А помнишь, как ты истреблял Гунхой? Я смотрела в окно, когда ты своим конем топтал беззащитных женщин, и вот эта рука рубила женские головы... Да, я тебя ненавижу и вместе с тем люблю... Меня приводит в ужас это двойное чувство.

— Того хана уже давно нет, Майя, как нет и Гунхоя. Такова воля аллаха... Он дает и победу и счастье. Да и чего тебе жалеть: ты была только пленницей у Олой-хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрела на хана потемневшими глазами.

— Я была пленницей Олой-хана, но не любила его... А вот тебя люблю, и в том моя погибель.

— И моя, Майя...

Каким счастьем пахнуло на хана Сарымбэть!.. Не было ни дня, ни ночи, а одно только счастье. Смеялась Майя — и он смеялся, хмурились ее темные брови — и он хмурился. Она думала, а он говорил, — и наоборот. Они читали мысли друг у друга в душе, и это даже пугало их. Иногда Майя задумывалась, и хан Сарымбэть хмурился, точно над их головами проносились тяжелые тени.

— Майя, о, я знаю, о чем ты думаешь!..

Он скрежетал зубами и падал на подушки в бессильной ярости, чувствуя, что много есть такого, что не в состоянии вырвать даже любовь. Ах, как много... Майя чувствовала его мысли, и лицо у нее бледнело, точно она умирала. Да, она страдала и за себя и за него, и чем была счастливее, тем сильнее мучилась.

— Майя, не думай ни о чем, — утешал ее хан Сарымбэть. — Что было, то прошло, а я счастлив настоящим... О, как я счастлив, Майя!.. Я до сих пор даже и приблизительно не знал, что такое любовь...

Хан Сарымбэть часто говорил и думал о счастье и все-таки не знал, что такое сча-

стье... Здоровый не чувствует в полном объеме своего здоровья, так и счастливые люди. Он даже потерял счет времени, а оно шло так быстро, как колесо, которое катится по хорошей дороге.

Раз Майя припала своей красивой головкой к груди хана и, краснея, проговорила:

— Мой повелитель, мое счастье, моя радость, я тебя подарю скоро величайшим счастьем, каким только может подарить любимая женщина... Твоя радость отпечаталась в моем сердце, и я тебе подарю маленького хана. Да... Подарю, а сама умру. Я это чувствую...

— Майя, свет моих глаз, дыхание моих уст, что ты говоришь?!

— Да, да... Воля аллаха неисповедима, и ты скоро будешь отцом. Помни, что ты похоронишь меня в степи, на берегу Кара-Куль, где носится вольный степной ветер. Это мое последнее желание...

Задумался хан Сарымбэть и потом засмеялся. Все женщины боятся родов, но ведь родят же бедные и больные женщины, а его Майя будет окружена и лучшим уходом и всякими удобствами. Все, что можно купить или

достать силой, — все будет у Майи...

Майя не обманулась. Она готовилась быть матерью, и счастливый хан Сарымбэть ухаживал за ней вдвойне, как не ухаживала бы за ней родная мать. О, он все делал для нее и спал в ее комнатах, как последний раб, чтобы ничто не нарушало покоя царицы Майи. Да, она была царица вдвойне... Как он караулил ее сон, как угождал малейшей ее прихоти и как был счастлив! Ожидаемый ребенок должен был покрыть собою все прошлое Майи, и с ним рождалась новая жизнь.

— Ты меня забудешь... — говорила грустно Майя со слезами на глазах. — У тебя столько красивых женщин, а Майи не будет. Только одна ее тень пронесется вот здесь, где она была так счастлива... Помни это, хан, и впредь всякая твоя радость будет отравлена. Вот здесь будет незримо бродить моя тень... Здесь я была счастлива своим коротким счастьем.

Не верил хан этим тяжелым предчувствиям, а случилось именно так, как думала Майя.

Она родила хану наследника, а сама умерла на другой день.

Хан не отходил от ее постели и, когда она

лежала мертвою, все смотрел на нее. Даже холодная рука смерти пощадила эту царственную красоту. Никогда Майя не была еще так красива, как мертвая, — лицо такое строгое, бледное, точно выточено из слоновой кости.

— Майя... Майя... Майя... — повторял хан Сарымбэть, хватаясь за голову... — Моя Майя. Моя дорогая... Майя, ты не слышишь, не слышишь меня?!

Майя уже ничего не слыхала.

За ханом ухаживал один старый Кугэй и повторял:

— Такова воля аллаха, хан... Мы все умрем...

— Отчего же не ты умер, а умерла она, моя Майя?.. — стонал хан, ломая руки. — Ты, старая гнилушка, живешь, а Майя умерла... Нет справедливости на земле. Я не верю аллаху.

Старый Кугэй в ужасе затыкал уши от такого богохульства и закрывал глаза.

IV

Похоронили Майю на высоком берегу озера Кара-Куль, и вольный ветер насыпал над ней могилу.

Хан Сарымбэть каждый день просыпался

в слезах и в слезах засыпал. Его молодое сердце умерло вместе с Майей, закрылась радость, погас яркий свет, — ничего не осталось у хана, кроме глаз, чтобы оплакивать свое черное горе. Опостылел ему и дворец, и зеленые сады, и красавицы жены. Нет Майи, и ничего не нужно хану... Нет Майи, слышите?..

Единственное утешение осталось хану: каждое утро он уезжал на могилу Майи. Приедет, пустит коня пастись, а сам сидит на могиле, горько плачет и все зовет ее, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Слышишь ли ты меня? Ведь я здесь, я с тобой... Смерть нас разлучила, но она же и соединит нас. Рядом я лягу с тобой, Майя... Дорогая, родная Майя, я здесь... Горлинка моя, свет мой, я здесь!..

Громко кличет молодой хан Майю, а ветер разносит его жалобу, — один вольный степной ветер слышит ханское горе, да зеленая степная трава, да ясные зори. И ни от кого не получал ответа хан... Один он со своим горем.

По целым часам сидит хан на крутом берегу и смотрит на шелковую гладь степного озера, обложенную зелеными ресницами камышей, точно рамой из дорогого рытого бархата.

Давно ли он ездил сюда на охоту, и радовалось ханское сердце молодецкой забавой, а теперь ничего не нужно хану. Майя, Майя... Все ты унесла с собой, а оставила одно черное горе. Хан Сарымбэть, слышишь ли? Какой хан — нет и хана, как нет Майи, а ходит одно черное горе, и плачет, и. жалуется. Нет хана — это люди придумали. Если бы он был сильнее других, то удержал бы Майю, отогрел ее холодевшие руки своим дыханием, раскрыл своими поцелуями ее чудные глаза и теплотой своего сердца согрел эту грудь... Ведь живут же другие женщины?.. Ах, Майя, Майя... Нет Майи, нет и хана!..

Так прошел и год, и другой, и третий.

По-прежнему горюет хан Сарымбэть, по-прежнему ездит на могилку Майи и по-прежнему плачет над ней и громко зовет ее, Майю, и по-прежнему не получает ответа. Похудел, постарел хан, точно прожил тридцать лет, а в бороде уже серебрится седина. Хан Сарымбэть старится, а молодой хан, сын Майи, растет: в нем проснулась красота матери. Но не радует хана и любимый сын... Тошно ему у себя во дворце, скучно, все надоело.

— Кугэй, старая лисица, мне надоело быть ханом, — сказал Сарымбэть своему старому советнику. — Да, надоело... Я оставляю вам ханом сына Майи, а сам уйду. Нет моих сил больше... Какой я хан, когда не мог сохранить посланную мне аллахом жемчужину.

Низко поклонился хитрый Кугэй, счастливый тем, что мог управлять всем, пока ребенок-хан подрастал. У всякого были свои мысли...

Так и ушел хан Сарымбэть из Шибэ, распустив жен и оставив все сокровища. Даже не взял он с собой лишней пары одежды. Для чего?.. Ведь и хан и последний нищий одинаково будут лежать в земле, для чего же обременять себя лишним платьем? Так и сделал хан: надел рубище дервиша, взял его кошель и палку и ушел из Шибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Кара-Куль, около могилы Майи. Выкопал землянку и живет как отшельник. Перечитал он все мудрые книги, долго и много молился и тысячу раз передумал всю свою жизнь, полную легкомысленных радостей, суетных желаний и мыслей. Он не видел той пропасти, которая

была сейчас под ногами...

Каждый день, каждый час, проведенный с Майей, был сокровищем, а он его не замечал, ослепленный собственным счастьем. И так все люди живут, обвеянные счастливой слепотой...

Жил Сарымбэть на берегу Кара-Куль до самой смерти, пока не сделался седым и дряхлым стариком. К нему приходили издалека, чтобы поведать какое-нибудь горе и научиться мудрости. Да, состарился Сарымбэть, и глаза уже плохо видели, а он все оплакивал свою Майю, точно она умерла только вчера. Ведь она открыла ему свет жизни, она отдала ему сердце и душу, и проснулось его сердце...

— Майя, слышишь ли ты меня? — повторял он каждый день над могилой своей возлюбленной. — Уж скоро я приду к тебе, Майя, мое счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырыл себе могилу рядом и спал в ней, чтобы быть ближе к ней, к Майе.

Раз он молился и слышит незнакомый голос:

— Хан Сарымбэть...

— Нет здесь никакого хана, а нищий Са-

рымбэть.

— Ты меня не узнаешь?

Посмотрел Сарымбэть — перед ним стоял старый-старый человек с пожелтевшей от времени бородой.

— Я хан Олой...

— А, это ты... Что же, садись рядом: места довольно.

Они долго сидели и молчали.

— Сарымбэть, много ты пролил напрасной крови, но и искупил ее своим подвижничеством. Я пришел мириться с тобой...

Заплакал Сарымбэть, припоминая истребление Гунхоя, и сказал:

— Похорони меня рядом с Майей, хан Олой... Я завтра умру. Видел я здесь на озере чудо. Когда я был ханом и ездил на озеро на охоту, то убил лебедушку. Чудная птица лебедь... Когда я переселился сюда, то лебедь, оставшийся без лебедушки, каждую весну прилетал сюда и каждое утро выплывал на озеро и жалобно кликал свою лебедушку. Тридцать лет он прилетал, тридцать лет горевал, а в последний раз прилетел, поднялся высоко-высоко и грянулся оземь. Я это видел

и подумал, насколько человек хуже даже глупой птицы... Моя Майя открыла мне глаза, и я знаю только одно счастье, чтобы похоронили меня рядом с ней.

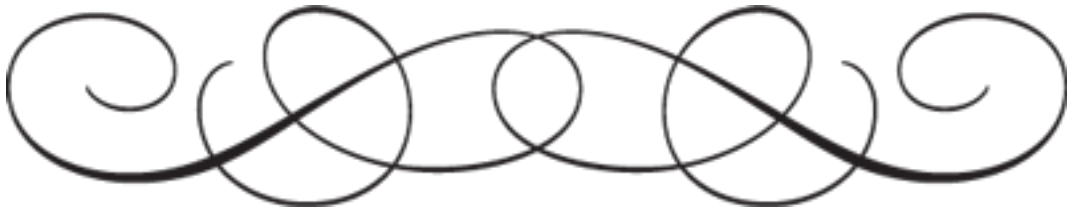
Сбылись слова праведного человека: когда хан Олой проснулся на другой день, Сарымбэть был уже мертв. Бывший смертельный враг похоронил его рядом с Майей.

Так было, и сейчас на высоком берегу озера Кара-Куль красуется двойная могила хана Сарымбэть с красавицей Майей. Издалека приходят люди, чтобы поклониться их праху: так любили они друг друга... Ровно через сто лет племя гунхой напало на Шибэ и разрушило город, как прежде был разрушен Гунхой: то сделал внук Олой-хана. Все было истреблено, выжжено и разрушено. Но даже враги не тронули могилы Майи, а внук хана Олоя сам приехал посмотреть святое место и прослезился.

— Хан Сарымбэть показал, как нужно любить, — сказал он. — Все проходит, разрушается, исчезает, а остается одна любовь...

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Сборник)



Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьевая гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках.

С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, ли-

сиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от ово-

дов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно

зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попы-

тать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшие ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зе-

леной щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист

папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге.

«Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля.

Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слиш-

ком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем ото-

щал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но

вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка... и непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продол-

жалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгнове-

ние старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать ею Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная.

Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видели. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Вольной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который ве-

село гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Зимовье на Студеной

I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось; в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь, — это просился Музгарко, небольшая, пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!.. — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!.. — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял, — отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!.. — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и

Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревян-

ных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом.

Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит, — объяснил старик собаке на ходу. — Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось, — лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на по-

мертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные по-

плавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнурков и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть

вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет, — объяснил старик собаке. — Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стену. — А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, ко-

гда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер, даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми го-

рами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же со старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко, — говорил старик, гладя собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст ту-

да, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной, — смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем, — вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом

в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: по-

скользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, — одним словом, пришла беда неминучая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колпы на Печору? — спрашивали его промышленники. — Там на реке Студеной зимовье, — так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни,

а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, — объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, ка-

бы соль была — не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, — какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро, — два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина — как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть од-

но мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик. — Проспал обоз... Ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик. — И слышит плохо на левое

ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, — шла дорогая поморская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму

старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело, В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку — все как следует. Только иду я с ним по лесу, и

вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай, — ничего не найдешь. Ты думаешь, он

вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом, и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия

птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, там стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь — перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволение... Человеку так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда

мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволенье, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка, — весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. — Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку, — Только твоего ремесла, што лаять... А вот ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и ед-

ва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не осталось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят

по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, — Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко... — повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. —

Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок — птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял за-

пасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет

подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

«Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...»

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.

Постойко

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома, — его выпускали погулять в это время.

— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой. — Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, свернутый кольцом, ощетинился и смело пошел на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть равнодушно кудластого дворового пса, а тот, в свою очередь, сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке, в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак. Враги медленно подходили друг к другу, подни-

мали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стремглав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все было еще заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную Собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами, — пропищала болонка, сторонясь от уличных собак. — Моя генеральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и Постойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спокойнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обратилась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом. — Здесь так грязно, а я не привыкла... Наконец, какое общество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь отвратительно...

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмотрел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня, — ответил за него один из мопсов, приятно оска-

лясь. — Случилось простое недоразумение... Мы всё попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку, — откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился от страха. — Я уже раз был на выставке и могу сказать, что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там повесят, — сообщила она приятную новость всей собачьей компании. — Я даже видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно... — запищала болонка. — Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза. — Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услыхал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он хотел

подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят, — думал Постойко, — только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится больше всего только о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решеткой отворялась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой, — сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон все катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем

было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой... — заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я по крайней мере не имею никакого желания болтаться на веревке... Впрочем, меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон, — хвастался верзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам... — приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка. — Выпустите меня, пожалуйста: мне уже надоело сидеть в вашем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.

— Вот невежа!.. — ворчала болонка.

Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, там поднялись такой лай, визг и вой, что сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фургона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление новичка на время утишало бурю. Последним был выведен водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью встречали новичков сидевшие в заключении собаки — точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и ласкали, как родных. Постойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?

— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Постойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай и вздергивали на веревку. Постойко был ужасно огорчен: оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужасно... И все из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утеше-

ние, но все-таки утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить всего один день, — сообщал Барбос. — А вот той, пестрой, — сегодня...

— А тебе?

— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка... Кушанье прескверное, но приходится жрать всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты все-таки закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родил-

ся и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря, — увидал деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть, и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чув-

ствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойко с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласкала, — они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках.

— Что же, можно и в городе жить, — согласился Барбос. — Только я одного не понимаю: за что такая честь этим моськам и болонкам? Даже обидно делается, когда на них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы — те другое дело. Положим, они важничают, но все-таки настоящие собаки. А то какая-нибудь моська!.. тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в очередь, а

ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто-нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто несправедливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы задал моськам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смотритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби», — объяснила горничная.

— Я здесь, — запищала жалобно болонка.

— Ну, слава богу, — обрадовалась горничная. — А то генеральша пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.

— Вот видишь, — заметил сердито Барбос. — Всегда так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и холят.

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным све-

том, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто колотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом все смолкало разом, когда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в нее врывался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом, — он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришел!..

Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин. — То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете, — с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут... — говорил он утром. — Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут, — успокаивал его Постойко. — Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов, — говорили с отчаянием эти добрые собачьи глаза. — Всего несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!.. — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведенный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его, — сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже: еще два дня

и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаяния он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть!

— Да масти нет никакой... так, — хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите, — уж я узнаю...

— Ее Постойком зовут, — прибавил детский голос.

Постойко не верил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш!.. — заговорила Андреевна, указывая на него. — Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойко, — говорил смотритель. — Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал

Аргуса.

— Прощай, братец, — проговорил он, виляя хвостом. — Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли... — уныло ответил Аргус, провожая счастливца своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около нее Постойке. — Смотри у меня, пострел.

Приемыш

(Из рассказов старого охотника)

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме[430] Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались про-

светы, еще немножко — и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова.

Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные

снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко на тапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом неда-

леко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда

девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лод-

кой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут вертелся в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал

в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт,

кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Но возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сер-

дешный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст за пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, — вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине несколько сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном»,

то есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. —

Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой карактер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день со-

брался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорит старик на прощанье. — Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ель и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей рабо-

той, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Собольком остались одни... Да,

не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да!.. Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот все равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушки, к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: все дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла.

Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непривычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.

Серая шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь хо-

лода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего но говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, — жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь все равно она должна погибнуть зимой.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной неж-

ностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьешься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас... — повто-

ряла бедная Серая Шейка. — Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водопла-

вающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вы-

тянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — про-

говорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные,

звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с

тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет

деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот ужо я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить...

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелять, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с

другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

Ак-Бозат

I

Бухарбай был молод и глуп, а когда человек глуп, то его только ленивый не обижает. Так было и с Бухарбаем. Когда умер отец, у него всего осталось достаточно — и новая кибитка, и целый косяк лошадей, и много баранов. Молодой Бухарбай думал, что ему век не прожить отцовского добра, и стал веселиться с товарищами. Другие работают, а Бухарбай веселится и говорит: «Зачем мне работать, когда у меня все есть? Пусть работают бедняки».

— Ой, Бухарбай, ты нехорошо себя ведешь! — повторяла мать и качала головой.

Но Бухарбай был молод и думал про себя, что женщины ничего не понимают, потому что целый век сидят по своим кибиткам и только умеют доить кобылиц. А молодое сердце так и играло... Веселится Бухарбай, и все ему мало. У богатых много друзей, и у Бухарбая тоже. Один лучше другого. Веселятся вместе с ним, едят его баранину, пьют его кумыс и хвалят хозяина. Но для веселья нужны еще деньги. Начал Бухарбай понемногу пропи-

вать отцовское добро, и все потихоньку от старой матери. Состарится, тогда сам накопит. Потом не стало и денег. Подумал Бухарбай продавать скот, да устыдился матери: будет плакать старуха и всем жаловаться. Тогда Бухарбай начал потихоньку занимать у соседей по аулу. Ему давали охотно, как дают богатым людям. Соседи дают, а Бухарбай берет. Сначала все считал, а потом и считать перестал. Все равно — кто дает, тот не забудет.

— Когда же ты отдашь нам долг? — сказал года через два один сосед.

— Отдам, когда у самого деньги будут, а теперь у самого ничего нет...

Достаточно было одному попросить долг, как и все другие начали приставать: «Отдай да отдай»; а чего отдать, когда у самого ничего нет. Задумался Бухарбай, только немножко поздно. Нечего делать, пришлось признаться во всем матери. Горько заплакала старуха и только сказала:

— Ведь я тебе говорила, Бухарбай... Ах, Бухарбай, Бухарбай, как ты жить будешь? Я-то уж стара, прожила жизнь, а у тебя все впереди.

Обратился Бухарбай к старым товарищам за помощью, а у тех у самих ничего нет. Если и было у кого что, так скрывали для себя.

А уж как они все жалели Бухарбая... «Ведь вот какие нехорошие соседи, пристают с долгами. Могли бы, кажется, и подождать». Одним словом, хороших слов сколько угодно, а денег ни гроша. Плохо пришлось Бухарбаю, совсем плохо, особенно, когда соседи пожаловались на него бию[431] и представили свои счеты. Вызвал бий молодого Бухарбая на суд и спрашивает:

— Признаешь ты свой долг?

— Признаю...

— А если признаешь, так нужно платить.

— У меня ничего нет...

Седобородые казы (судьи) посоветовались между собой и решили продать все имущество Бухарбая. Конечно, жаль молодого человека, а делать нечего. Бий тоже жалел и тоже ничего не мог поделать: глупости трудно поправлять.

Пришли казы к Бухарбаю и начали продавать отцовское добро. Главными покупателями явились те же заимодавцы, как богатые

люди. Долго наживал отец Бухарбая свое богатство, а разлетелось оно дымом в один день. Один взял баранов, другой кибитку, третий и четвертый поделили между собой косяк лошадей. Как при всех распродажах, имущество шло за бесценок. Заимодавцы так и рвали дешевый товар и даже перессорились между собой. Каждому хотелось захватить побольше.

— Что же у меня останется? — спрашивал Бухарбай судей.

— У тебя есть две здоровых руки. Раньше ты был молод и глуп, а теперь будешь умен поневоле... Пророк недаром сказал: «Эль факру факри»[432].

Повесил голову молодой Бухарбай. Жаль отцовского добра... Но он не спорил: и бий и казы были справедливы. Но только когда дело дошло до последнего жеребенка белой масти, он вступился. Это был редкой породы жеребенок, старинной крови, и отец больше всего им дорожил. Заимодавцы тоже знали толк в лошади и так и вцепились в жеребенка, — каждый хотел его взять себе.

— Нет, жеребенка я вам не отдам! — за-

явил Бухарбай. — Вы все взяли, и я молчал, а жеребенка не отдам.

Пошли все на суд к бию. Он внимательно выслушал всех и сказал:

— Заимодавцы, вы получили больше, чем давали, и хотите отнять у человека последнее. Какой же киргиз без лошади? Нужно иметь совесть...

Бухарбай стоял и плакал. Ему было совестно за свою собственную глупость, которая довела его до такого позора. Бию сделалось жаль, и он решил, что белый жеребенок останется у него.

— Помни, что он рожден от кости Исэк-Кырган (вечерняя зарница), — наставительно говорил бий молодому человеку, — той знаменитой Исэк-Кырган, которую не могла обойти на скачках ни одна лошадь в степи. Береги жеребенка, как зеницу ока: он стоит всего твоего имущества...

Поблагодарил Бухарбай милостивого бия и еще раз заплакал, но уже от радости. У него оставалась еще надежда... Заимодавцы готовы были отнять у него и степь и небо, если б только это зависело от них.

II

Ничего не осталось у Бухарбая, кроме молодого стыда да старой матери. Старуха плакала потихоньку, чтобы напрасно не огорчать и без того несчастного сына, и только сказала:

— Аллах дает и богатство и бедность. Не нужно отчаиваться... Ты еще молод и можешь исправиться... Мой последний совет тебе: уходи из нашего аула как можно дальше. Нехорошо оставаться байгушом (нищим) там, где все знали тебя богатым. Вот тебе мой последний совет, Бухарбай. А я уйду опять к твоей сестре. Зять хороший человек и не прогонит старуху...

Еще раз сделалось совестно Бухарбаю, что он не может прокормить даже родную мать. Приходилось дорого платиться за молодую глупость...

— Еще тебе совет, Бухарбай, — говорила мать на прощанье, — никто не знает, чего стоит твой жеребенок. Он редкой крови... Береги его и не бери за него ничего, что бы тебе ни предлагали. Это будет не лошадь, а степной ветер, стрела, пущенная из лука. Отец на-

звал его Ак-Бозат[433].

Молча поклонился в ноги Бухарбай матери. Из всех людей только она одна желала ему добра.

Из своего аула он ушел темной ночью, чтобы никто не видал его последнего позора и последних слез. Он шел пешком и вел за собой в поводу белого жеребенка. Это была маленькая кобылка из благородной породы «белорожденных». От всех остальных родичей своей крови она отличалась тем, что имела на лбу черную звезду, почему отец и назвал ее звездой. Синим шаром опрокинулось над головой Бухарбая глубокое небо, расшитое золотым узором звезд; без конца стелется перед ним степь, точно ковер, и думает Бухарбай, неужели он нигде не найдет себе уголка, чтобы жить.

Идет Бухарбай неделю, идет другую, идет третью. Прошел много аулов. Здесь уже никто не знал его, и сделалось Бухарбаю легче. Молодость скоро проживает свое горе. Нанялся Бухарбай в простые пастухи к богатому киргизу Цацгаю и выговорил себе только одно, — чтобы его жеребенок пасся вместе с другими

лошадьми.

— Пусть пасется, — согласился Цацгай. — Степь велика, всем места хватит... Только жеребенок-то дрянной: ноги у него очень тонкие...

А Бухарбай молчит. Цацгай не знал толку в лошадях. Ак-Бозат заморилась длинной дорогой и действительно имела такой жалкий вид. А Цацгай сообразил про себя, что когда кобылка подрастет, то молодой пастух будет ездить на своей лошади. Всякий свою выгоду соблюдает.

Аул был большой; у Цацгая ходило в степи три косяка лошадей, и Бухарбай был рад, когда его отправили пастухом. Это был первый хлеб, заработанный собственными руками. Целые дни теперь Бухарбай проводил верхом на лошади, сберегая косяк, и хорошо узнал, как дорого достается свой хлеб. Цацгай был скуп и давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. Пастухи за глаза постоянно ругали скупого хозяина, а в глаза старались выслужиться, — так делают почти все бедные люди, которые от нищеты потеряли даже чувство собствен-

ного достоинства.

Работа пастушья нетрудная, да только тем нехороша, что нет ни днем, ни ночью покоя. Пастухи спали одним глазом. Бухарбай скоро освоился с своим новым положением и ничем не выделялся среди других пастухов, кончая белой войлочной шляпой и рваным бешметом.

Он не роптал на судьбу и утешался тем, что у него была Ак-Бозат. У других и этого не было. Пастухи смеялись, как Бухарбай ухаживал за своей белой кобылкой, а Цацгай мог только удивляться. Бухарбай часто ее купал, расчесывал и заплетал гриву и потихоньку начинал приучать ее к бегу. Ак-Бозат ходила за хозяином, как собака, и слушалась его голоса. Бухарбай даже разговаривал с ней, как с человеком.

— Никто нас но знает здесь, Ак-Бозат... Это хорошо. Много глупостей наделал твой хозяин... Ну да ничего, — поправимся...

Только напрасно думал Бухарбай, что никто его не замечает. У Цацгая была дочь-невеста, красавица Мэчит. Девушки любят примечать иногда и то, что им не следует. Так и Мэ-

чит, — как погонят лошадей, так и смотрит на нового пастуха. Ей показалось, что он и ездит совсем не так, как другие. Киргизские девушки смелые и ходят без покрывала. Раз она встретила Бухарбая и сказала:

— Пастух, покажи свои руки...

Бухарбай смутился, но не смел ослушаться. Девушка внимательно посмотрела на его руки, лукаво заглянула в глаза и проговорила:

— Ты не простой пастух, Бухарбай... У тебя еще недавно руки были нежные, как у женщины. И когда ездишь на коне, тоже заметно...

— Да, не простой, — уже смело ответил Бухарбай. — Мне принадлежат и вся степь и все небо... По степи я езжу, а на небо смотрю целые ночи, и никто мне не мешает.

— Нечего сказать, богатство громадное! — засмеялась Мэчит. — Только с кем ты его будешь делить?..

— У меня никого нет...

— А девушка, которая тебя любит?

— Бедных пастухов девушки не любят... Впрочем, я люблю свою Ак-Бозат.

— Лошадь? Ха-ха... Какой ты скрытный. Ну,

увидим...

Начал замечать Бухарбай, что Мэчит каждый раз так внимательно смотрит на него. Посмотрит и засмеется. Это его даже начинало сердить. Чему она смеется?.. Стал и сам Бухарбай посматривать на хозяйскую дочь, и чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Молодое сердце льнуло к молодому сердцу без слов.

— Будь умным, Бухарбай, — читал он самому себе наставление. — Довольно глупостей... Цацгай одного калыму[434] потребует за дочь не меньше ста рублей да еще в придачу баранов триста. Не будь смешным, Бухарбай... Не тебе, несчастному байгушу[435], думать о хорошеньких девушках.

Когда по вечерам становилось грустно, Бухарбай присаживался к огоньку и пел песню, которую складывал тут же:

У девушки смех на уме,
А молодцу горе...
Скоро вихрем он в степь улетит на копе,
А она заплачет в неволе.

III

Так прошли три года, длинных три года. Три раза степь покрывалась весенними цветами, три раза выгорала степная трава от летнего зноя, три раза степная зима засыпала все снегом. Трудно приходилось пастухам в течение зимы, особенно когда поднимался буран. Несколько раз Бухарбай чуть не замерз, но он терпеливо переносил все, потому что бедные люди не должны роптать на свою судьбу. Загрубели у него руки, как у настоящего пастуха, заветрело лицо, и Мэчит не обращала уже на него внимания. Но он был счастлив, он, Бухарбай, потому что выросла его Ак-Бозат. Совсем большая лошадь, и какая умная! С каким терпением учил он ее, выдерживая ход. Другие пастухи опять смеялись над чудаком, который ухаживает за лошадью, как за невестой. А лошадь была чудная — длинная, на таких высоких ногах, с маленькой головой и длинной гривой. Когда Бухарбай в первый раз поехал на ней верхом, у него сердце дрогнуло от радости: это была не лошадь, а ветер.

«Пусть еще годик подрастет Ак-Бозат, — думал Бухарбай, — а там я поступлю проводником к купеческим караванам... И работа лег-

кая, и жизнь привольная, и все будет хорошо. Терпи, Бухарбай, недолго осталось ждать».

Мысль об отъезде давно засела в голову Бухарбая, и он ее вынашивал потихоньку от всех. Только одно удерживало его: он уедет, а Мэчит останется. Да, она забыла его, но он не забыл эти горячие темные глаза, этот девичий смех, это гордое лицо степной красавицы. Он дрожал при одной мысли, что это лицо засмеется другому, и другой уведет ее в свою кибитку.

Много было женихов у Мэчит. Далеко из степи приезжали они, но старый Цацгай дорожился и сам не знал, какой калым просить за красавицу дочь. Но время подходило такое, что приходилось расставаться: девичий век короткий. Думал, думал Цацгай, которого жениха выбрать, и опять не мог решиться. Все хороши, и всем жаль отдать красавицу Мэчит. Тогда старик придумал устроить байгу [436] для женихов: кто придет первым, тому аллах и судил Мэчит взять женой. И женихи были довольны таким решением, потому что каждый надеялся на свою лошадь. А лошади у всех были отличные. Чтобы подзадорить же-

нихов, Цацгай объявил открыто:

— Мне все равно, кто ни обгонит... Простой пастух — его и Мэчит. Как хочет аллах, так и будет...

Слух об этой байге облетел всю степь, и о ней говорили. Много батырей в степи, и каждый думал отбить красавицу Мэчит у ее женихов.

Наконец объявлен был и день. В аул Цацгая съехались со всех сторон. Вся степь покрылась народом. Брели старый и малый, чтобы посмотреть невиданное зрелище. Кто-то выиграет красавицу Мэчит? Кому аллах пошлет редкое счастье?

В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, в которой собрались киргизские старшины из разных аулов, казы, и даже приехал сам бий. Простой народ усыпал все поле. Выехали скоро на чудных конях женихи Мэчит и много простых джигитов, а последним выехал Бухарбай на своей Ак-Бозат.

— Кто это на белой лошади? — спрашивали все.

— Это мой пастух, — неохотно отвечал Цацгай, обиженный тем, что простой пастух

хочет спорить с женихами. — Только лошадь напрасно заморит...

Все наездники выровнялись перед палаткой в одну линию, и бий подал знак. Джигиты понеслись, а позади всех поехал Бухарбай. Он долго не решался принять участие в байге, потому что Ак-Бозат была еще молода. Благоразумие говорило, что не нужно этого делать, но молодая гордость перевесила. Недалеко от главной палатки стояла другая, в которой собрались женщины, и Бухарбай видел среди них красавицу Мэчит. Она весело позванивала золотыми монетами, которыми была у нее покрыта вся грудь, и еще веселее улыбнулась, когда увидела Бухарбая на его белой лошади. Чем больше женихов, тем сильнее поднималась гордость красавицы.

Байга шла на двадцать пять верст — вперед одна половина, а другая половина обратно. Хороши были кони у женихов, и далеко они унеслись вперед. На первой половине уже простые джигиты начали отставать. Бухарбай сдерживал горячившуюся Ак-Бозат и чувствовал, что в ней еще много силы. Только на обратном конце он постепенно начал да-

вать волю благородному животному, и Ак-Бозат понеслась, все усиливая скорость. О, как она оставляла одного соперника за другим!.. Простые джигиты уже были все позади, а впереди летели только трое женихов. Особенно далеко ушел один на золотистом текинском скакуне. Ак-Бозат все прибавляла ходу и оставила двух женихов; остался впереди один. Бухарбай чувствовал, как под ним точно летела земля, а вдали уже пестрела толпа народа и зелеными точками выделялись палатки. Началась борьба между текинским скакуном и Ак-Бозат. Вот уже Ак-Бозат совсем настигает, и Бухарбай слышит, как тяжело дышит жениховский скакун. Вот они уже скачут голова в голову... Замерло сердце у Бухарбая: оставалось всего две версты. Трудно бороться с текинским скакуном, но он потрепал Ак-Бозат по шее, припал к луке седла, чтобы не связывать движений лошади, и дико гикнул. Как стрела, пущенная из лука могучей рукой, понеслась Ак-Бозат, как степной вихрь, и Бухарбай уже слышал, как неистово кричит тысячная толпа, торжествующая его победу.

Первым пришел Бухарбай, далеко оставив

всех женихов. Все бросились к Ак-Бозат и не знали, как ее приласкать. Женщины целовали ее. Такого скакуна еще не видали в степи.

— Ты выиграл, Бухарбай, — сказал бий.

— Да, он выиграл, — согласился спокойно Цацгай. — Мэчит его, если он достанет калым... Хоть сейчас пусть берет ее. Я от своего слова не отказываюсь. Ведь все женихи обещали заплатить мне калым...

Никогда еще Бухарбай не чувствовал себя настолько несчастным, как в этот день своего торжества. Ему все завидовали, а он проклинал себя... Да, проклятую бедность не объедешь ни на каком скакуне. Даже гордая Мэчит подошла к Ак-Бозат и обняла за шею благородное животное.

— Прощай, Мэчит! — сказал Бухарбай.

Девушка ничего не ответила, а только опустила свои гордые глаза.

IV

Байга сделала Бухарбая несчастным. Он потерял свой покой, нажитый тяжелым трудом. Тяжела показалась ему теперь жизнь простого пастуха. Да и все другие ему завидовали. А он все думал о Мэчит, о красавице Мэ-

чит с чудными глазами.

— Вот тебе год, — сказал Цацгай. — Я свое слово держу, а ты добывай калым. Если в течение года но добудешь, я выдам Мэчит за другого...

Если бы Бухарбая кто ударил ножом, ему, кажется, было бы легче, чем услышать такие слова. А тут еще Мэчит смотрит на него и опять улыбается. Она полюбила Ак-Бозат и часто приходила кормить ее из своих рук. Теперь ей нечего было стесняться: Бухарбай был ее жених, как это было всем известно.

— Бухарбай, ты очень любишь меня? — лукаво спрашивала красавица.

— Да...

— Даже больше, чем Ак-Бозат?

Этот вопрос смущал Бухарбая, и он не знал, что ответить, а Мэчит звонко смеялась и убегала.

Старый Цацгай тоже думал об Ак-Бозат. Все у него было — пятьсот лошадей, три тысячи баранов, красавица дочь, а такого скакуна не было. Далеко разлетелась слава Ак-Бозат по всей степи, и джигиты приезжали посмотреть на чудную лошадь. Эта слава не давала

спать старому Цацгаю. Он только и думал об Ак-Бозат, как бы добыть ее от Бухарбая. Несколько раз скупой старик заводил такой разговор:

— Бухарбай, продай мне лошадь! Я тебе дам за нее двадцать лошадей — выбирай любых из всего табуна, да еще столько же баранов.

— Нет, — упрямо повторял Бухарбай.

— Дам тебе в придачу лучшую кибитку...

— Нет...

— Дам тебе серебряных денег, сколько можешь взять обеими руками.

— Нет...

— Дам тебе шелковый бешмет и два шелковых халата.

— Нет...

— Дам ружье, кинжал, саблю...

— Нет.

— Чего же тебе нужно?

— Мне ничего не нужно, Цацгай...

Впрочем, раз Бухарбай сам сказал:

— Давай все, что обещаешь, и Мэчит в придачу.

— Ого, ты не дурак... Только этого никогда

не будет.

— Как знаешь. А мне и так хорошо...

Начал Цацгай сердиться на упрямого пастуха. Уж очень он зазнался со своею лошадью... Мало ли в степи хороших скакунов? Но как Цацгай ни успокаивал себя, но чудная лошадь но выходила у него из головы. Что ему, в самом деле, теперь нужно: все у него есть. Даже новую жену не нужно... А если бы была у него Ак-Бозат, он стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обгонял. Нет другой такой лошади... Старик даже похудел, потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему деваться. И собственное богатство сделалось не мило...

Кончилось тем, что Цацгай серьезно разнемогся. Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не может. Наконец он сказал Мэчит:

— Иди и позови сюда этого упрямого осла... Я хочу с ним говорить.

Когда в кибитку вошел Бухарбай, старик сказал:

— Я захворал из-за твоего упрямства... Ты глуп, как четыре осла! Да... Если бы я был мо-

лод, я украл бы твою Ак-Бозат! А теперь... Слушай, упрямый человек, что я тебе скажу: бери, что хочешь, и... Мэчит в придачу.

Поклонился Бухарбай и отвечал:

— Ты много даешь, Цацгай, а хочешь взять у меня все... Ак-Бозат — благородной крови Исэк-Кырган. Когда я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю...

— Убирайся, худой человек, и думай! — стонал старик.

Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил Мэчит; она стояла у входа, слышала весь разговор и теперь горько плакала.

— Ты меня не любишь, Бухарбай... — шептали девичьи губы, еще так недавно смеявшиеся над ним.

Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого Цацгая, а тронули девичьи слезы. Он вернулся в свою кибитку, как пьяный. Все у него кружилось в голове, и он не знал, что ему делать.

Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное девичье лицо, и деви-

чий сладкий голос, и своя собственная жалость. Слышит он, как ходит недалеко от кибитки его сокровище Ак-Бозат, и опять не знает, что ему делать. Другие пастухи спят, а он мучается, как преступник. Молодое сердце так и бьет тревогу... Наконец оно взяло перевес, и Бухарбай решился уступить Ак-Бозат старому Цацгаю.

Но только он это подумал, как слышит, что Ак-Бозат заржала. Не успел он выскочить из кибитки, как послышался громкий топот. О, как знал Бухарбай этот топот... Вор подкрался ночью и теперь летел, как ветер. Бросился Бухарбай в табун, выбрал лучшую лошадь и полетел в погоню. Гонит он час, гонит другой, и опять он слышит знакомый топот. Дрогнуло сердце в груди Бухарбая, и погнал он лошадь еще сильнее. Начинало светать, когда он завидел вдали Ак-Бозат: неужели это его Ак-Бозат, и неужели он ее догонит на простой табунной лошади? Еще никто не обгонял Ак-Бозат. Еще час гонится Бухарбай, — вор уже совсем близко. Облилось кровью сердце Бухарбая, когда он настигал его. Не утерпел джигит и крикнул:

— Эй, ты, шайтан, не умеешь ездить... Потрепли лошадь по шее!..

Вор так и сделал. Ак-Бозат полетела, как стрела. Скоро пропала совсем из виду. Бухарбай загнал насмерть свою лошадь, упал на землю и горько заплакал. Это аллах его наказал за то, что он хотел уступить благородную Ак-Бозат старому Цацгаю. Любовь его ослепила...

V

В свой аул Бухарбай вернулся только через три дня. Его сначала даже не узнали, так он похудел, а глаза были совсем дикие.

— Если бы ты отдал мне Ак-Бозат, я сумел бы ее сберечь, — карал его старый Цацгай. — Ты упрямый осел, Бухарбай... Ты глуп, Бухарбай, как четыре барана.

— Меня наказал аллах... — ответил Бухарбай. — Отпусти меня, Цацгай.

— Куда же ты пойдешь, несчастный байгуш?

— Пойду искать Ак-Бозат... Я не могу без нее жить.

Не так думала Мэчит. Очень она полюбила джигита, а девичье сердце не ищет богатства.

Она сама пришла к Бухарбаю и сказала:

— Бухарбай, куда ты — туда и я... Я тебя люблю.

Заплакал Бухарбай, а Мэчит положила его голову к себе на колени и утешала ласковыми девичьими словами. Тут она узнала, как Бухарбай сделался байгушом, и еще больше его жалела. Из-за нее аллах его наказал. Пошла смелая девушка к отцу и сказала, что ни за кого больше не пойдет замуж, как только за джигита Бухарбая; он не простой пастух, а настоящий джигит.

— Не надо мне богатства, — говорила смелая девушка. — Лучше я буду женой простого пастуха.

Рассердился Цацгай, прогнал от себя дочь; но она пришла в другой раз и повторила то же самое. Разве что нибудь поделаешь с упрямыми женскими словами? Еще сильнее рассердился Цацгай и сказал:

— Хорошо, упрямая коза... Бери своего Бухарбая, только я ничего не знаю. И тебя не знаю... А этот упрямый осел пусть не показывается мне на глаза, если хочет быть цел.

Много страшных слов наговорил старый

Цацгай, как говорят и другие отцы, когда сердятся на непослушных дочерей, а потом смилостивилось отцовское сердце.

«Дам я кибитку Мэчит, — решил Цацгай. — Не жить же ей на самом деле вместе с пастухами... Упрямая девчонка не стоит этого, ну да уж так и быть...»

После кибитки дал Цацгай лошадей, потом баранов, потом уж надавал всего. Он дает, а Бухарбаю все равно. Ничего не нужно джигиту.

Сыграли свадьбу, а Бухарбай все тоскует. Ласки молодой красавицы жены не утешали горя. По ночам Бухарбай часто просыпался и вскакивал, как сумасшедший. Ему все слышался топот Ак-Бозат... Вот-вот она уже совсем близко. Это она летит по степи, как ветер... Выскакивал Бухарбай из кибитки, брал лучшую лошадь и летел в погоню, а потом возвращался домой грустный-грустный.

Не мило было Бухарбаю и богатство, не милы ласки красавицы жены, ее молодой смех и песни. А тут еще новая беда: в аул пришел слепой байгуш с бандурой и запел песню про Ак-Бозат. В степи уже складывали ей песни.

С ветром спорила Ак-Бозат,
А крылья взяла у птицы...
Белая красавица, ты летала,
Как стрела, оперенная лебединым крылом.

— Слышишь, Мэчит? — стонал Бухарбай. — Это про нее поют, значит, она жива... О, я несчастный!.. И я не умел сберечь это сокровище...

А слепой байгуш сидит и поет:

Нет цены хорошей лошади,
Она все для джигита:
И дом, и богатство, и честь.
Без лошади нет и джигита!

Пришел Бухарбай к старому Цацгаю и сказал:

— Я ухожу, старик...

— Куда?

— Не знаю. Не могу больше терпеть...

— А жена?

— Жена подождет... Ничего мне не нужно.

Отправился Бухарбай странствовать по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому. Где завидит в табуне белую лошадь, так у него сердце и упадет. Подъедет, посмот-

рит, — нет, не Ак-Бозат. И опять дальше, точно кто его гонит.

Когда вечером Бухарбай ложился спать, ему каждый раз слышался топот Ак-Бозат. Да, он слышал, как она делала широкий круг, а близко не подходила. О, это была она, Ак-Бозат... Бухарбай весь трепетал и молился аллаху. С каждым днем Ак-Бозат делала круги все меньше и меньше. Бухарбай перестал есть и похудел, как скелет.

«Скоро уж...» — говорил он самому себе.

А в степи между тем разнеслась весть, что бродит сумасшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь. Матери начали пугать им своих детей, а большие побаивались ночной встречи. Его видали разом в нескольких местах.

Собрались степные джигиты вместе и пробовали ловить Бухарбая; но он каждый раз уходил от них.

Наконец совсем обессилел Бухарбай и целых три дня лежит у степного колодца. У него не было сил подняться на лошадь, А как наступала ночь, опять являлась Ак-Бозат и начинала делать свои круги. Теперь она была

уже совсем близко, и Бухарбай только не мог открыть глаз, чтобы посмотреть на лошадь. Однажды, — это была четвертая ночь у колодца, — он лежал как мертвый. Вдруг топот уже совсем близко, тут... Бухарбай открывает глаза, а над ним стоит Ак-Бозат. Он хотел крикнуть, но только застонал...

Степные джигиты нашли Бухарбая мертвым у колодца. Он прижимал окоченевшими руками к груди свою белую войлочную шляпу.

В глуши

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия — Шалаевы. Собственно, даже фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду в книге записывать? — говорил священник.

— Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, — две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку, — объяснял староста, — все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать, — советовал священник. — Оно для вас же удобнее.

— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем... А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, — избы стояли на

самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, — благо лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Елани — широкие поляны в лесу. (прим. автора)

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно видеть разлив реки Чусовой верст на пять.

Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света.

Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей дерев-

ни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Невелика радость!

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку?

Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики при-

мерли, сестры повыходили замуж, а о женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки[437] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец Егор да второй брат Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем умом». С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень[438], и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва ста-

рик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна стала «не совсем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так — все равно что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет...

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он пугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавлялись бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил от-

цу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, — в лесу «блазнит»[439], как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться в

Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка, — коротко объяснял он. — А ты, главное, ничего не бойся... ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает... А ежели что — ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело... Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись

только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастаться своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут.

Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад, но и побаивался. В курене, — конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, из собачьего меха ягу[440], пимы, собачьи

шубенки[441], такой же треух-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, — недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровский завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты смотри, Пимка, не застудись... В балагане[442] будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка! — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем[443].

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый — будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в ку-

рень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорища, бабам — корыта и вальки — все нужно. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след

точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров, обложенных сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай...

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что, озяб? Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу, без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери в углу был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение? —

шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую руба-

ху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то да прямо в тепло и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас — все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит

поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее, не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем но рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за

все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большей частью —

каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за все время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани. Весь точно из трубы сейчас вылез.

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню; поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой. В праздник работать грешно, и все убивали

время как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улицу». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунка. Ну, эта еще помудренее: как свистнет, — и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь

вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!..

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь — вот и все. В баню хоть каждый день ходи... Одежа на тебе вся чистая, а еды до отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в

стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— Ах ты, боже мой... И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой — и огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно это все... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся щтей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами уда-

рится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городе все трубки курят да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все... — не верил дед. — Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-

своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситцы, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть. Может быть, солдат-то и не врет. Вон он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в

балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил набольшего в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся.

Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было

покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшенный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане

холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно, а может, и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат зубы заговаривать...

Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У

него теперь была и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки.

Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!!!

Вертел

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где,

как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?.. Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него — вот и конец делу. Будет, — одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками...»

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подме-

нил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик

или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ, — именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель. — Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин, — отвечал за всех Ермилыч. — Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько, — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина, — на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги, — вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже

всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных

помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да... — говорил сам Ухов. — Ужо новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедам своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жал только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженых свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным по-

явлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!.. — думал он вслух. — И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольский экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет, — настойчиво повторяла дама. — Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту, — объяснял Алексей Иваныч. — Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любо-

пытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше, — объяснял он, — а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое

колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама. — Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую, — я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку, — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, — ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь, — как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессо-

вестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего, — с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка, — пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька. — А Алексей Иваныч охулки на руку [444] не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «вертел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, — ну, и вышел: вертел. Не вертел, мама, а вертел.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему, — умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

«Убегу!.. — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу».

Прошка думал целые дни, — вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не по-

нравилось у одного хозяина, — пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы, и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут же воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень, — зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего, — ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему, — значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой, — наказывал он Прошке еще с вечера. — Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч нико-

гда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди, — из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал,

чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, вертел!.. — приглашал он Прошку. — Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький! Настоящий цыпленок!

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего

уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренно торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она наконец. — Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю, — по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя. — Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками;

кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками, — настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. По я уже не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами, Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя, Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя, — говорила она сы-

ну, — этот мальчик уже с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Иванычем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец; Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все

казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спросил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем, и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно, — ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра

до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков своей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть вертелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна. — Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если б ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна.

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше... — упрямо отвечал

Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч. — Вот ему и не хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря

даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко

всему безучастно, точно придавленный своей болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.

Старый воробей

I

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю, что! — чирикнул с вербы старый Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова!.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан!.. — смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тель-

цем. — Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил отец, вбивая последний гвоздь. — Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!.. — гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору. — Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый Воробей. — Это мне квартиру приготовляют... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробьиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и

хозяин сам говорит о скворцах, значит, будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал к ней старый Воробей. — Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только

я один должен был скитаться где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут... — кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську. — Ты зачем пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так... — согласился Петух, тоже недолюбливавший кота Ваську. — Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником и прикрепил его к самому

крепкому столбу ограды. Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка, — тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей. — Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьиха. — Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели. — То-то моей старухе тепло бу-

дет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворечника, старый Воробей весело распушил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу. — Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри, — учил его отец. — На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей сверху. — Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару!..

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной

птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники, — решил старый Воробей со свойственным ему великодушием. — Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут, да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи. — Подарил племянникам какую-то щель... Вот ужо посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, видавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался, — э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть, — рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика. — Я — заслуженный Воробей... Моло-

дые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы, — что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей. — Глупая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют... — заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню. — А ты только умеешь воровать.

— По-ют? Это называется петь? — изумился старый Воробей. — Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а

между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз, — прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступа-

ла все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит, — жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц, — настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал старый Воробей своей Воробьихе еще с вечера. — Утром налетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки, — эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай, Воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьиха спит сладко-сладко.

Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая голову в оконце. — Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?..

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!.. — благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь. — Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали, — только и всего. Если бы

старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух. — Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей. — Погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьиха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же

родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробьиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробьиха. — У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный...

Что, брат, не любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеялся. — Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех. — Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я умнее вас... А главное то: я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух, — тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь, — заметил Петух, подмигнув скворцам. — Вот в

огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов, — воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?.. — возмутился старый Воробей. — Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где он, — там и я. Да... И притом я — совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, третий в курятнике сидит... Я — вольная птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга — человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя, — решил Петух. — Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром ста-

рый Воробей опять появился на крыше — такой веселый и довольный.

— Это я, братцы, — прочиликал он, принимая гордый вид. — Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа, — в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьиха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел

только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьиху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его, — бормотал Петух глубокомысленно. — Как будто и недостает чего-то... Бывало, все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.

Богач и Еремка

I

— Еремка, сегодня будет пожива... — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье, — посмеивался Еремка. — И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж, видно, нам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттеплело и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинавшую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал

заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива... — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходи-

лось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где, главным образом, гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клади, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зай-

цам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот обойду по загуменьям да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ло-

вить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — вор-

чал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хоть прощения у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух

гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

И удивительное дело, — каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле, — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Бо-

гач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!..

II

— Ну, и оказия!.. — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча... — ворчал старик. — Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай... — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу... — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его... — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия... — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышленыш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут,

по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!.. — ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зай-

ца, а только съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли, — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба....

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала!

— Как не видать... Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила

его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха... — думал он вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится, — тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попа-

дайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому... Только лапы пона-

прасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног — и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле... — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за рабо-

той дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой...

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный... — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — небойсь вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душонка есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым.

Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка... — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой

сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь как сразу зазнался, косой...

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, не много дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой... — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть... Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные вы-

стрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц — и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих...

— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес... — решил он. — Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и

несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться... — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива...» — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

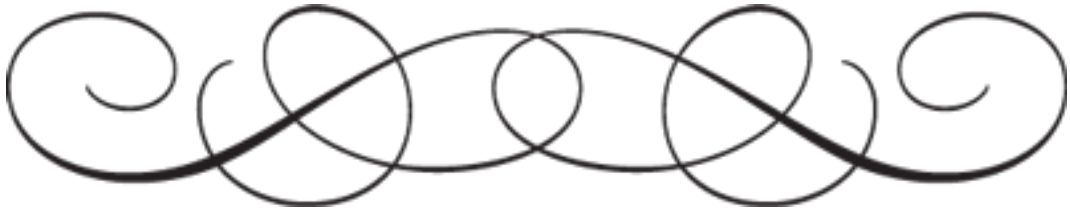
— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше... — коротко объяснил он.

АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ

(Сборник)



Присказка

Баю-баю-баю...

Один глазок у Алёнушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Алёнушки спит, другое — слушает.

Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пёс Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пёстрый Скворец в клетке, и забияка Петух.

Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились жёлтыми огоньками; медведь Мишка сосёт свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит но-

сом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки.

Один глазок у Алёнушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Алёнушки спит, другое — слушает.

Баю-баю-баю...

Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост

Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнёт птица, упадёт с дерева ком снега, — у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес. — Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи — все слушают, как хвастается Заяц — длинные уши, косые глаза, короткий хвост, — слушают и своим собственным ушам не верят. Не было ещё, чтобы заяц не боялся нико-

го.

— Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя — никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.

— Да что тут долго говорить! — кричал расхрабрившийся окончательно Заяц. — Ежели мне попадётся волк, так я его сам съем...

— Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..

Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.

Кричат зайцы про волка, а волк — тут как тут.

Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим

делам, проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» — как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого Волка, поминают.

Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошёл волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, а всех больше — хвастун Заяц — косые глаза, длинные уши, короткий хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» — подумал серый Волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун Заяц взобрался на пенёк, уселся на задние лапки и заговорил:

— Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я... я... я...

Тут язык у хвастуна точно примёрз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная

вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страху упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенёк, кто завалился в ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать кто похрабрее.

— А ловко напугал Волка наш Заяц! — ре-

шили все. — Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да где же он, наш бесстрашный Заяц?..

Начали искать.

Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы в один голос. — Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

— А вы бы как думали! Эх вы, трусы...

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что действительно никого не боится.

Баю-баю-баю...

Сказочка про Козявочку

I

Как родилась Козявочка, никто не видал.

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала:

— Хорошо!..

Расправила Козявочка свои крылышки, потёрла тонкие ножки одна о другую, ещё посмотрела кругом и сказала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка зелёная, — хорошо, хорошо!.. И всё моё!..

Ещё потёрла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.

— Какой ты добрый, цветочек! — говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками.

— Добрый-то добрый, да вот ходить не умею, — пожаловался цветочек.

— И всё-таки хорошо, — уверяла Козявочка. — И всё моё...

Не успела она ещё договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель — и прямо к цветочку:

— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто пьёт мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная Козявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

— Позвольте, что же это такое? — запищала Козявочка. — Всё, всё моё...

— Жжж... Нет, моё!

Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась:

— Какой грубиян этот Шмель!.. Даже удивительно!.. Ещё ужалить хотел... Ведь всё моё — и солнышко, и травка, и цветочки.

— Нет уж, извините — моё! — проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибае-

тесь... Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы народ легкомысленный, а я Червячок серьёзный... Говоря откровенно, мне всё принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свиданья!..

II

В несколько часов Козявочка узнала решительно всё, именно: что, кроме солнышка, синего неба и зелёной травки, есть ещё сердитые шмели, серьёзные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что всё принадлежит ей и создано для неё, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так... Не может этого быть.

Летит Козявочка дальше и видит — вода.

— Уж это моё! — весело запищала она. — Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка и цветочки.

А навстречу Козявочке летят другие козя-

вочки.

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?

— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело... Ты недавно родилась?

— Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я думала, что всё моё, а они говорят, что всё ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьёзного Червяка.

— Ах, как хорошо! — шептала она в восторге. — Всё моё: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие сердятся, решительно не понимаю. Всё моё, а я никому не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть, в самом деле! Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; вдруг, откуда ни возьмись, воробей — как шмыгнёт мимо,

точно кто камень бросил.

— Ай, ой! — закричали козявочки и бросились врассыпную.

Когда воробей улетел, не досчитались целого десятка козявочек.

— Ах, разбойник! — бранились старые козявочки. — Целый десяток съел.

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками ещё дальше в болотную траву.

Но здесь другая беда: двух козявочек съела рыбка, а двух — лягушка.

— Что же это такое? — удивлялась Козявочка. — Это уже совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!..

Хорошо, что козявочек было много и убыли никто не замечал. Да ещё прилетели новые козявочки, которые только что родились.

Они летели и пищали:

— Всё наше... Всё наше...

— Нет, не всё наше, — крикнула им наша Козявочка. — Есть ещё сердитые шмели, серьёзные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!

Впрочем, наступила ночь, и все козявочки

попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звёзды на небе, взошёл месяц, и всё отразилось в воде.

Ах, как хорошо было!..

«Мой месяц, мои звёзды», — думала наша Козявочка, но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...

III

Так прожила Козявочка целое лето.

Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза её чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом незаметно подобралась лягушка, — мало ли у козявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встретила Козявочка другую такую же козявочку, с мохнатыми усиками. Та и говорит:

— Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить вместе.

И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Всё вместе: куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

— Ах, как я устала!..

Никто не видал, как Козявочка умерла.

Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.

Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и мохнатого Мишу — короткий хвост

I

Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович — длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик:

— Ой, батюшки!.. ой, карраул!..

Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:

— Что случилось?.. Что вы орёте?

А комары летают, жужжат, пищат — ничего разобрать нельзя.

— Ой, батюшки!.. Пришёл в наше болото медведь и завалился спать. Как лёг в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров; как дохнул — проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то

всех бы передавил...

Комар Комарович — длинный нос сразу рассердился; рассердился и на медведя и на глупых комаров, которые пищали без толку.

— Эй вы, перестаньте пищать! — крикнул он. — Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орёте только напрасно...

Ещё сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили с испокон века, развалился и носом сопит, только свист идёт, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да ещё спит так сладко!

— Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз — никого не видно, открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и тоже начал сердиться.

Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит.

— Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..

Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.

— Да что тебе нужно, негодная тварь? — зарычал он.

— Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... Вместе с шубой тебя съем.

Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

II

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на всё болото:

— Ловко я напугал мохнатого Мишку!.. В другой раз не придёт.

Подивились комары и спрашивают:

— Ну, а сейчас-то медведь где?

— А не знаю, братцы... Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдёт. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам виноват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда ещё в болоте не было такого страшного шума.

Пищали, пищали и решили — выгнать медведя из болота.

— Пусть идёт к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше... Ещё отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили.

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда выспится — сам уйдёт, но на неё все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться.

— Идём, братцы! — кричал больше всех Комар Комарович. — Мы ему покажем... да!

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.

— Ну, я так и говорил: умер бедняга со страху! — хвастался Комар Комарович. — Даже жаль немножко, вой какой здоровый медведище...

— Да он спит, братцы, — пропищал ма-

ленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! — запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. — Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит как ни в чём не бывало...

А мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.

— Он притворяется, что спит! — крикнул Комар Комарович и полетел на медведя. — Вот я ему сейчас покажу... Эй, дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьётся своим длинным носом прямо в чёрный медвежий нос, Миша так и вскочил — хвать лапой по носу, а Комар Комаровича как не бывало.

— Что, дядя, не понравилось? — пищит Комар Комарович. — Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один Комар Комарович — длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, Комарище — длинный носище, и младший брат, Комаришко — длинный носишко! Уходи, дядя...

— А я не уйду! — закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. — Я вас всех передавлю...

— Ой, дядя, напрасно хвастаешь...

Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А Комар Комарович вьётся над самым медвежьим ухом и пищит:

— Я тебя съем, дядя...

III

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую берёзу и принялся колотить ею комаров.

Так и ломит со всего плеча... Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет, — все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжёлый камень и запустил им в комаров — опять толку нет.

— Что, взял, дядя? — пищал Комар Комарович. — А я тебя всё-таки съем...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рёв. А сколько он де-

ревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Всё ему хотелось зацепить первого Комар Комаровича, — ведь вот тут, над самым ухом вьётся, а хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку — давай кататься по траве, чтобы передавить всё комариное царство. Катался, катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только ещё больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох. Вышло того хуже — комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

— Постойте, вот я вам задам!.. — ревел он так, что за пять вёрст было слышно. — Я вам покажу штуку... я... я... я...

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и ревёт:

— Ну-ка, подступитесь теперь ко мне... Всем носы пообломаю!..

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут... Отбивался, отбивался

Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного войска, закашлялся да как сорвётся с сука, точно мешок... Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит:

— Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?..

Ещё тоньше рассмеялись комары, а Комар Комарович так и трубит:

— Я тебя съем... я тебя съем... съем... съем!..

Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иванович, беспокоить себя напрасно!.. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания. Не стоит.

— И то не стоит, — обрадовался медведь. — Я это так... Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я... я...

Как повернётся Миша, как побежит из болота, а Комар Комарович — длинный нос летит за ним, летит и кричит:

— Ой, братцы, держите! Убежит медведь...

Держите!..

Собрались все комары, посоветовались и решили: «Не стоит! Пусть его уходит — ведь болото-то осталось за нами!»

Ванькины именины

I

Бей, барабан, та-та! тра-та-та! Играйте, трубы: тру-ту! ту-ру-ру!.. Давайте сюда всю музыку — сегодня Ванька именинник!.. Дорогие гости, милости просим... Эй, все собирайтесь сюда! Тра-та-та! Тру-ру-ру!

Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:

— Братцы, милости просим... Угощенья — сколько угодно. Суп из самых свежих щепок; котлеты из лучшего, самого чистого песку; пирожки из разноцветных бумажек; а какой чай! Из самой хорошей кипячёной воды. Милости просим... Музыка, играй!..

Та-та! Тра-та-та! Тру-ту! Ту-ру-ру!

Гостей набралось полная комната. Первым прилетел пузатый деревянный Волчок.

— Жж... жж... где именинник? Жж... жж... Я очень люблю повеселиться в хорошей ком-

пании...

Пришли две куклы. Одна — с голубыми глазами, Аня, у неё немного был попорчен носик; другая — с чёрными глазами, Катя, у неё недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике. —

— Посмотрим, какое угощенье у Ваньки, — заметила Аня. — Что-то уж очень хвастает. Музыка недурна, а относительно угощенья я сильно сомневаюсь.

— Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна, — укорила её Катя.

— А ты вечно готова спорить.

Куклы немного поспорили и даже готовы были поссориться, но в этот момент приковылял на одной ноге сильно поддержанный Клоун и сейчас же их примирил.

— Всё будет отлично, барышня! Отлично повеселимся. Конечно, у меня одной ноги недостаёт, но ведь Волчок и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, Волчок...

— Жж... Здравствуй! Отчего это у тебя один глаз как будто подбит?

— Пустяки... Это я свалился с дивана. Бывает и хуже.

— Ох, как скверно бывает... Я иногда со всего разбега так стукнусь в стену, прямо головой!..

— Хорошо, что голова-то у тебя пустая...

— Всё-таки больно... жж... Попробуй-ка сам, так узнаешь.

Клоун только защёлкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина.

Пришёл Петрушка и привёл с собой целую кучу гостей: собственную жену, Матрёну Ивановну, немца-доктора Карла Иваныча и большеносого Цыгана; а Цыган притащил с собой трёхногую лошадь.

— Ну, Ванька, принимай гостей! — весело заговорил Петрушка, щёлкая себя по носу. — Один другого лучше. Одна моя Матрёна Ивановна чего стоит... Очень она любит у меня чай пить, точно утка.

— Найдём и чай, Петр Иваныч, — ответил Ванька. — А мы хорошим гостям всегда рады... Садитесь, Матрёна Ивановна! Карл Иваныч, милости просим...

Пришли ещё Медведь с Зайцем, серенький бабушкин Козлик с Уточкой-хохлаткой, Пету-

шок с Волком — всем место нашлось у Ваньки.

Последними пришли Алёнушкин Башмачок и Алёнушкина Метёлочка. Посмотрели они — все места заняты, а Метёлочка сказала:

— Ничего, я и в уголке постою...

А Башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный Башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка, которая была на самом носике. Ну, да ничего, под диваном никто не заметит.

— Эй, музыка! — скомандовал Ванька.

Забил барабан: тра-та! та-та! Заиграли трубы: тру-ту! И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело...

II

Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал Волчок, звенел своими тарелочками Клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как было весело!..

— Братцы, гуляй! — покрикивал Ванька, разглаживая свои льняные кудри.

Аня и Катя смеялись тонкими голосками,

неуклюжий Медведь танцевал с Метёлочкой, серенький Козлик гулял с Уточкой-хохлаткой, Клоун кувыркался, показывая своё искусство, а доктор Карл Иваныч спрашивал Матрёну Ивановну:

— Матрёна Ивановна, не болит ли у вас животик?

— Что вы, Карл Иваныч? — обижалась Матрёна Ивановна. — С чего вы это взяли?..

— А ну, покажите язык.

— Отстаньте, пожалуйста...

— Я здесь... — прозвенела тонким голоском серебряная Ложечка, которой Алёнушка ела свою кашку.

Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда доктор заговорил об языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при её помощи осматривает у Алёнушки язычок...

— Ах, нет... не нужно! — запищала Матрёна Ивановна и так смешно размахивала руками, точно ветряная мельница.

— Что же, я не навязываюсь со своими услугами, — обиделась Ложечка.

Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней подлетел Волчок, и они приня-

лись танцевать. Волчок жужжал, Ложечка звенела... Даже Алёнушкин Башмачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул Метёлочке:

— Я вас очень люблю, Метёлочка...

Метёлочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. Она любила, чтобы её любили.

Ведь она всегда была такой скромной Метёлочкой и никогда не важничала, как это случалось иногда с другими. Например, Матрёна Ивановна или Аня и Катя, — эти милые куклы любили посмеяться над чужими недостатками: у Клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был длинный нос, у Карла Иваныча — лысина, Цыган походил на головешку, а всего больше доставалось имениннику Ваньке.

— Он мужиковат немного, — говорила Катя.

— И, кроме того, хвастун, — прибавила Аня.

Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошёл, как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Мед-

ведь по ошибке чуть не съел Зайчика вместо котлетки; Волчок чуть не подрался с Цыганом из-за Ложечки — последний хотел её украсть и уже спрятал было к себе в карман. Пётр Иваныч, известный забияка, успел поссориться с женой и поссорился из-за пустяков.

— Матрёна Ивановна, успокойтесь, — уговаривал её Карл Иваныч. — Ведь Пётр Иваныч добрый... У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки...

— Оставьте её, доктор, — говорил Петрушка. — Это уж такая невозможная женщина... А впрочем, я её очень люблю. Матрёна Ивановна, поцелуемтесь...

— Ура! — кричал Ванька. — Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон посмотрите...

Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и такое ужасное, что даже страшно сказать.

Бил барабан: тра-та! та-та-та! Играли трубы: тру-ру! ру-ру-ру! Звенели тарелочки Клоуна, серебряным голоском смеялась Ложечка, жужжал Волчок, а развеселившийся Зайчик кричал: бо-бо-бо!.. Фарфоровая Собачка гром-

ко лаяла, резиновая Кошечка ласково мяукала, а Медведь так притопывал ногой, что дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин Козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел: мееке-ке!..

III

Позвольте, как всё это случилось? Очень трудно рассказать всё по порядку, потому что из участников происшествия помнил всё дело только один Алёнушкин Башмачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться под диван.

Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные кубики... Нет, опять не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, она, верно!.. Эта хорошенькая плутовка ещё в конце обеда шепнула Ане:

— А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее.

Кажется, вопрос самый простой, а между тем Матрёна Ивановна страшно обиделась и

заявила Кате прямо:

— Что же вы думаете, что мой Пётр Иваныч урод?

— Никто этого не думает, Матрёна Ивановна, — попробовала оправдываться Катя, но было уже поздно.

— Конечно, нос у него немного велик, — продолжала Матрёна Ивановна. — Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Иваныча сбоку... Потом, у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться, но он всё-таки добрый человек. А что касается ума...

Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал:

— Верно, Матрёна Ивановна... Самый красивый человек здесь, конечно, я!

Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка! Даже слушать противно! Клоун был не мастер говорить и обиделся молча, а зато доктор Карл Иванович сказал очень громко:

— Значит, мы все уроды? Поздравляю, гос-

пода...

Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему Цыган, рычал Медведь, выл Волк, кричал серенький Козлик, жужжал Волчок — одним словом, все обиделись окончательно.

— Господа, перестаньте! — уговаривал всех Ванька. — Не обращайте внимания на Петра Иваныча... Он просто пошутил.

Но всё было напрасно. Волновался главным образом Карл Иваныч. Он даже стучал кулаком по столу и кричал:

— Господа, хорошо угощенье, нечего сказать!.. Нас и в гости пригласили только затем, чтобы назвать уродами...

— Милостивые государыни и милостивые государи! — старался перекричать всех Ванька. — Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод — это я... Теперь вы довольны?

Потом... Позвольте, как это случилось? Да, да, вот как было дело. Карл Иваныч разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Иванычу. Он погрозил ему пальцем и повторял:

— Если бы я не был образованным челове-

ком и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Пётр Иваныч, что вы даже весьма дурак...

Зная драчливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька, а доктор... Что тут началось!.. Петрушка вцепился в доктора; сидевший в стороне Цыган ни с того ни с сего начал колотить Клоуна, Медведь с рычанием бросился на Волка, Волчок бил своей пустой головой Козлика — одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тонкими голосами, и все три со страху упали в обморок.

— Ах, мне дурно!.. — кричала Матрёна Ивановна, падая с дивана.

— Господа, что же это такое? — орал Ванька. — Господа, ведь я именинник... Господа, это, наконец, невежливо!..

Произошла настоящая свалка, так что было уже трудно разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся коло-

тить всех, кто подвёртывался ему под руку, и так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо.

— Карраул!!. Батюшки... ой, карраул! — орал сильнее всех Петрушка, стараясь ударить доктора побольнее... — Убили Петрушку до смерти... Карраул!..

От свалки ушёл один Башмачок, вовремя успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, а в это время за него спрятался Зайчик, тоже искавший спасения в бегстве.

— Ты это куда лезешь? — заворчал Башмачок.

— Молчи, а то ещё услышат, и обоим достанется, — уговаривал Зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки в носке. — Ах, какой разбойник этот Петрушка!.. Всех колотит и сам же орёт благим матом. Хорош гость, нечего сказать... А я едва убежал от Волка, ах! Даже вспомнить страшно... А вон Уточка лежит кверху ножками. Убили, бедную...

— Ах, какой ты глупый, Зайчик: все куклы лежат в обмороке, ну и Уточка вместе с другими.

Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрёне Ивановне давно уже надоело лежать в обмороке, она открыла один глаз и спросила:

— Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?..

Ей никто не отвечал, и Матрёна Ивановна открыла другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.

— Здесь было что-то ужасное, — говорила Катя. — Хорош именинник, нечего сказать!

Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он кого-то бил, а за что про что — неизвестно.

— Решительно не знаю, как всё это вышло, — говорил он, разводя руками. — Главное, что обидно: ведь я их всех люблю... решительно всех.

— А мы знаем как, — отозвались из-под дивана Башмачок и Зайчик. — Мы всё видели!..

— Да это вы виноваты! — накинулась на

них Матрёна Ивановна. — Конечно, вы... Заварили кашу, а сами спрятались.

— Они, они!.. — закричали в один голос Аня и Катя.

— Ага, вон в чём дело! — обрадовался Ванька. — Убирайтесь вон, разбойники... Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей.

Башмачок и Зайчик едва успели выскочить в окно.

— Вот я вас... — грозила им вслед кулаком Матрёна Ивановна. — Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и Уточка скажет то же самое.

— Да, да... — подтвердила Уточка. — Я своими глазами видела, как они спрятались под диван.

Уточка всегда и со всеми соглашалась.

— Нужно вернуть гостей... — продолжала Катя. — Мы ещё повеселимся...

Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал; у Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос.

— Ах, разбойники! — повторяли все в один голос, браня Зайчика и Башмачок. — Кто бы

мог подумать?..

— Ах, как я устал! Все руки отколотил, — жаловался Ванька. — Ну, да что поминать старое… Я не злопамятен. Эй, музыка!..

Опять забил барабан: тра-та! та-та-та! Заиграли трубы: тру-ту! ру-ру-ру!.. А Петрушка неистово кричал:

— Ура, Ванька!..

Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу

I

Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал:

— Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?

— Ничего, живём помаленьку, — отвечал Ерш Ершович. — Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах… Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками…

— Спасибо, брат! С удовольствием пошёл

бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу... Я тебя, брат, ягодами буду угощать — у меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

— Какой он?

— Белый такой...

— Как у нас гальки в реке?

— Ну вот. А возьмёшь в рот — сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу?

— Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе всё покажу...

Воробей Воробеич пробовал заходить в воду, — по колени зайдёт, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно! Напьётся Воробей Воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки — и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах.

— Как это тебе не надоест в воде сидеть? — часто удивлялся Воробей Воробеич. — Мокро в воде, — ещё простудишься...

Ерш Ершович удивлялся в свою очередь:

— Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке: как раз задохнёшься. А у меня всегда прохладно. Плавай себе сколько хочешь. Небойсь летом все ко мне в воду лезут купаться... А на крышу кто к тебе пойдёт?

— И ещё как ходят, брат!.. У меня есть большой приятель — трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит... И весёлый такой трубочист, — всё песни поёт. Чистит трубы, а сам напевает. Да ещё присядет на самый конёк отдохнуть, достанет хлебца и закусывает, а я крошки подбираю. Душа в душу живём. Я ведь тоже люблю повеселиться.

У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима: как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберёт под себя ноги да и сидит. Одно только спасенье — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда.

Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу — трубочи-

сту. Пришёл трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом, — чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться:

— Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить...

— А я почём же знал, что ты в трубе сидишь?

— А будь вперёд осторожнее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул, разве это хорошо?

Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось не сладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:

— Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?

— Жив... — сонным голосом откликается Ерш Ершович. — Только всё спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.

— И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, приходится терпеть... Ух, какой злой ветер

бывает!.. Тут, брат, не заснёшь... Я всё на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: «Посмотрите, какой весёленький воробушек!» Ах, только бы дождаться тепла... Да ты уж опять, брат, спишь?

А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за Воробьем Воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.

— Ох, едва жив ушёл! — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. — Вот разбойник-то!.. Чуть-чуть не сцапал, а там бы поминай как звали.

— Это вроде нашей щуки, — утешал Ерш Ершович. — Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния. А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено, а как это полено бросится за мной... Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять...

— И я тоже... Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники...

II

Да, так жили да поживали Воробей Воробе-

ич и Ерш Ершович, зябли по зимам, радовались летом; а весёлый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого своё дело, свои радости и свои огорчения.

Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошёл к речке смыть с себя сажу. Идёт да посвистывает, а тут слышит — страшный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут — ничего не разберёшь.

— Эй вы, что случилось? — крикнул трубочист.

— А вот и случилось... — чиликнула бойкая синичка. — Так смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Воробеич делает... Совсем взбесился.

Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, вильнула хвостиком и взвилась над рекой.

Когда трубочист подошёл к реке, Воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой: клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.

— Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат,

шумишь тут? — спросил трубочист.

— Нет, я ему покажу!.. — орал Воробей Воробеич, задыхаясь от ярости. — Он ещё не знает, каков я... Я ему покажу, проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня поминать, разбойник...

— Не слушай его! — крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович. — Всё-то он врёт...

— Я вру? — орал Воробей Воробеич. — А кто червяка нашёл? Я вру!.. Жирный такой червяк! Я его на берегу выкопал... Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу домой, в своё гнездо. У меня семейство — должен я корм носить... Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ерш Ершович, — чтоб его щука проглотила! — как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул — червяк упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил... Это называется врать?!. И ястреба никакого не было...

— Что же, я пошутил, — оправдывался Ерш Ершович. — А червяк действительно был вкусный...

Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плотва, караси, окуни, малявки, — слу-

шают и смеются. Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем! И ещё смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может.

— Подавись ты моим червяком! — бранился Воробей Воробеич. — Я другого себе выкопаю... А обидно то, что Ерш Ершович обманул меня и надо мной же ещё смеётся. А я его к себе на крышу звал... Хорош приятель, нечего сказать! Вот и трубочист Яша то же скажет... Мы с ним тоже дружно живём и даже вместе закусываем иногда: он ест — я крошки подбираю.

— Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить, — заявил трубочист. — Дайте только мне сначала умыться... Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся...

— Моё дело правое, — что же мне беспокоиться! — орал Воробей Воробеич. — А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить...

Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вы-

мыл руки и лицо и проговорил:

— Ну, братцы, теперь будем суд судить... Ты, Ерш Ершович, — рыба, а ты, Воробей Воробеич, — птица. Так я говорю?

— Так! Так!.. — закричали все, и птицы и рыбы.

— Будем говорить дальше! Рыба должна жить в воде, а птица — в воздухе. Так я говорю? Ну вот... А червяк, например, живёт в земле. Хорошо. Теперь смотрите...

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил:

— Вот смотрите: что это такое? Это — хлеб. Я его заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так? Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хотят пообедать... У вас, значит, своя пища! Зачем же ссориться? Воробей Воробеич откопал червячка, значит, он его заработал, и, значит, червяк — его...

— Позвольте, дяденька... — послышался в толпе птиц тоненький голосок.

Птицы раздвинулись и пустили вперёд Бекасика-песочника, который подошёл к само-

му трубочисту на своих тоненьких ножках.

— Дяденька, это неправда.

— Что неправда?

— Да червячка-то ведь я нашёл... Вон спросите уток — они видели. Я его нашёл, а Воробей налетел и украл.

Трубочист смутился. Выходило совсем не то.

— Как же это так?.. — бормотал он, собираясь с мыслями. — Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом деле, обманываешь?

— Это не я вру, а Бекас врёт. Он сговорился вместе с утками...

— Что-то не тово, брат... гм... Да! Конечно, червячок — пустяки; а только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать... Так я говорю? Да...

— Верно! Верно!.. — хором крикнули опять все. — А ты всё-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем! Кто у них прав?.. Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги.

— Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и Воробей Воробеич!.. Право, озорники. Я обоих вас и накажу для примера... Ну, живо миритесь, сейчас же!

— Верно! — крикнули все хором. — Пусть помирятся...

— А Бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками, — решил трубочист. — Все и будут довольны...

— Отлично! — опять крикнули все.

Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет.

Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его стащить.

— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы и все птицы.

И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тяжела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы.

Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку; а потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за неё рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку и все крошки съели. Как есть ничего не осталось от краюшки. Ко-

гда краюшка была съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гнались за вором Воробьем да по пути краденую краюшку и съели.

А весёлый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеётся. Уж очень смешно всё вышло... Все убежали от него, остался один только Бекасик-песочник.

— А ты что же не летишь за всеми? — спрашивает трубочист.

— И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют...

— Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало ещё поработали...

Пришла Алёнушка на бережок, стала спрашивать весёлого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

— Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички! А я бы разделила всё — и червячка и краюшку, и никто бы не ссорился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа приносит четыре яблока и говорит: «Раздели пополам — мне и Лизе». Я и разделила на три части: одно яблоко дала папе, другое — Лизе, а два взяла

себе.

Сказка о том, как жила-была последняя муха

I

Как было весело летом!.. Ах, как весело! Трудно даже рассказать всё по порядку... Сколько было мух, — тысячи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась маленькая Мушка, расправила свои крылышки, ей сделалось тоже весело. Так весело, так весело, что не расскажешь. Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу — в какое хочешь, в то окно и лети.

— Какое доброе существо человек, — удивлялась маленькая Мушка, летая из окна в окно. — Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное — весело...

Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зелёной травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперёд

позаботиться обо всём. Ах, какой он добрый, этот садовник!.. Мушка ещё не родилась, а он уже всё успел приготовить, решительно всё, что нужно маленькой Мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом — его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятное.

— И откуда только эти проклятые мухи берутся? — ворчал добрый садовник.

Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать гряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедала.

Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Алёнушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тёти Оли сахару, — всё это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное — крошки булки и сахара. Ну скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно

когда летаешь всё утро и проголодаешься?.. Потом, кухарка Паша была ещё добрее Алёнушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, масло, — вообще самая добрая женщина во всём доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще!

А тётя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, специально жила только для мух... Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать, а когда шёл дождь или было холодно, закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тётя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего это всё делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Алёнушка очень любила варенье, но тётя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух.

Так как мухи за раз не могли съесть всего,

то тётя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай.

— Ах, какие все добрые и хорошие! — восхищалась молодая Мушка, летая из окна в окно. — Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы всё сами... Ах, как хорошо жить на свете!

— Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, — заметила старая Муха, любившая поворчать. — Это только так кажется... Ты обратила внимание на человека, которого все называют «папой»?

— О да... Это очень странный господин. Вы совершенно правы, хорошая, добрая старая Муха... Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно

пишет, и чуть не умерла... Это наконец возмутительно! Я своими глазами видела, как в его чернильнице тонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же! Где справедливость?..

— Я думаю, что этот папа совсем лишён справедливости, хотя у него есть одно достоинство... — ответила старая, опытная Муха. — Он пьёт пиво после обеда. Это совсем недурная привычка! Я, признаться, тоже не прочь выпить пива, хотя у меня и кружится от него голова... Что делать, дурная привычка!

— И я тоже люблю пиво, — призналась молоденькая Мушка и даже немного покраснела. — Мне делается от него так весело, так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, оттого ничего не делает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенья... Ему остаётся только курить свою трубку.

Мухи вообще отлично знали всех людей, хотя и ценили их по-своему.

II

Лето стояло жаркое, и с каждым днём мух являлось всё больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла; в другой раз спросонья налетела на зажжённую лампу и чуть не спалила себе крылышек; в третий раз чуть не попала между оконных створок, — вообще приключений было достаточно.

— Что это такое: житья от этих мух не стало!.. — жаловалась кухарка. — Точно сумасшедшие, так и лезут везде... Нужно их изводить.

Даже наша Муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой, двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на неё живой ку-

чей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки. Паша была права.

Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек — то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили тёплой водой.

— Вот отличное угощенье мухам! — говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.

Мухи и без Паши догадались, что это делается для них, и весёлой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но её оттолкнули довольно грубо.

— Что вы толкаетесь, господа? — обиделась она. — А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо...

Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, как пьяные, а потом и

совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мёртвых мух. Остались живыми только самые благоразумные, а в том числе и наша Муха.

— Не хотим бумажек! — пищали все. — Не хотим...

Но на следующий день повторилось то же самое. Из благоразумных мух остались целыми только самые благоразумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благоразумных.

— Житья от них нет... — жаловалась она.

Тогда господин, которого звали папой, принёс три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благоразумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода.

— Вот теперь отлично!.. — одобряла Паша; она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде.

Что же тут отличного, посудите сами. Если бы у людей были такие же крылья, как у мух,

и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду!..

Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода.

— Неужели лето прошло? — удивлялись оставшиеся в живых мухи. — Позвольте, когда же оно успело пройти? Это наконец несправедливо... Не успели оглянуться, а тут осень.

Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина человека. Увы! Теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка —

форточки. Даже само солнце и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... И что же, — доверчивые мухи вылетают в форточку, но солнце только светит, а не греет. Они летят назад — форточка закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости.

— Нет, я не верю, — говорила наша Муха. — Ничему не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить?

Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было.

У нашей Мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других

мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала:

«Ну и пусть погибают — мне больше достанется».

Во-первых, настоящих тёплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть.

Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днём их делалось всё меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть — пять комнат, и всего одна муха!..

III

Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то

непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своём уголке, под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как всё разъяснилось сразу. Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей пеленой.

— А, так вот какая бывает зима! — сообразила она сразу. — Она совсем белая, как кусок хорошего сахара...

Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала:

«Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... Ах, как хорошо!..»

Она облетела все комнаты и ещё раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно всё, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! Зима там, на улице, а в комнатах и тепло и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла ма-

ленькая неприятность — Муха налетела было опять на огонь и чуть не сгорела.

— Это, вероятно, зимняя ловушка для мух, — сообразила она, потирая обожжённые лапки. — Нет, меня не проведёте... О, я отлично всё понимаю!.. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот и плита в кухне — разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух!..

Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнёт, поест, опять полетает — и опять ей делается скучнее прежнего.

— Ах, как мне скучно! — пищала она самым жалобным тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату. — Хоть бы одна была мушка ещё, самая скверная, а всё-таки мушка...

Как ни жаловалась последняя Муха на своё одиночество, — её решительно никто не хотел понимать. Конечно, это её злило ещё

больше, и она приставала к людям как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперёд. Одним словом, настоящая сумасшедшая.

— Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно? — пищала она каждому. — Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... Да нет, куда вам? Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я когда-нибудь встречала...

Последняя Муха надоела и собаке и кошке — решительно всем. Больше всего её огорчило, когда тётя Оля сказала:

— Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте её. Пусть живёт всю зиму.

Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. Её, кажется, и за муху перестали считать. «Пусть поживёт, — скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу — и всё тут».

Последняя Муха до того рассердилась на

всех, что даже самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит... Сидевший в углу Паук наконец сжалился над ней и сказал:

— Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня паутина!

— Покорно благодарю... Вот ещё нашёлся приятель! Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком.

— Как знаете, я вам же добра желаю.

— Ах, какой противный! Это называется — желать добра: съесть последнюю Муху!..

Они сильно повздорили, и всё-таки было скучно, так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила:

— Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму!.. Вот вам!.. Да, буду сидеть и не выйду ни за что...

Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было весёлых мух; а она ещё желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка...

Зима тянулась без конца, и последняя Му-

ха начала думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно всё, что вредно мухам. А может быть, это тётя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?..

Последняя Муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по обыкновению, сидела в своём уголке и сердилась, как вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила собственным ушам, а подумала, что её кто-нибудь обманывает. А потом... Боже, что это было!.. Мимо неё пролетела настоящая живая мушка, ещё совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась.

— Весна начинается!.. весна! — жужжала она.

Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Мушка только смеялась тоненьким голос-

ком и никак не могла понять, как это было скучно.

— Весна! весна!.. — повторяла она.

Когда тётя Оля велела выставить все зимние рамы и Алёнушка выглянула в первое открытое окно, последняя Муха сразу всё поняла.

— Теперь я знаю всё, — жужжала она, вылетая в окно, — лето делаем мы, мухи...

Сказочка про Воронушку — чёрную головушку и жёлтую птичку канарейку

Сидит Ворона на берёзе и хлопает носом по сучку: хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом да как каркнет:

— Карр... карр!..

Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать:

— Эк тебя взяло, чёрная голова... Даст же бог такое горлышко!.. Чему обрадовалась-то?

— Отстань... Некогда мне, разве не видишь? Ах, как некогда... Карр-карр-карр!.. И всё-то дела да дела.

— Умаялась, бедная, — засмеялся Васька.

— Молчи, лежебок... Ты вот все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя не знаю: на десяти крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и закоулки осмотрела. А ещё вот надо на колокольню слетать, на рынке побывать, в огороде покопать... Да что я с тобой даром время теряю, — некогда мне. Ах, как некогда!

Хлопнула Ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впереди летела какая-то маленькая жёлтенькая птичка.

— Братцы, держите её... ой, держите! — пищали воробьи.

— Что такое? Куда? — крикнула Ворона, бросаясь за воробьями.

Взмахнула Ворона крыльями раз десяток и догнала воробьиную стаю. Жёлтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черёмухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась жёлтенькая птичка под куст, а Ворона

тут как тут.

— Ты кто такая будешь? — каркнула она.

Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть гороху.

Они озлились на жёлтенькую птичку и хотели её заклевать.

— За что вы её обижаете? — спрашивала Ворона.

— А зачем она жёлтая?.. — запищали разом все воробьи.

Ворона посмотрела на жёлтенькую птичку: действительно, вся жёлтая, — мотнула головой и проговорила:

— Ах вы, озорники... Ведь это совсем не птица!.. Разве такие птицы бывают?.. А впрочем, убирайтесь-ка... Мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей...

Воробьи запищали, затрещали, озлились ещё больше, а делать нечего — надо убираться.

Разговоры с Вороной коротки: так хватит носищем, что и дух вон.

Разогнав воробьев, Ворона начала допытывать жёлтенькую птичку, которая тяжело ды-

шала и так жалобно смотрела своими чёрными глазками.

— Кто ты такая будешь? — спрашивала Ворона.

— Я Канарейка...

— Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, так воробьи заклевали бы тебя...

— Право, я Канарейка...

— Откуда ты взялась?

— А я жила в клетке... в клетке и родилась, и выросла, и жила. Мне всё хотелось полетать, как другие птицы. Клетка стояла на окне, и я всё смотрела на других птичек... Так им весело было, а в клетке так тесно. Ну, девочка Алёнушка принесла чашечку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела.

— Что же ты делала в клетке?

— Я хорошо пою...

— Ну-ка, спой.

Канарейка спела. Ворона наклонила голову набок и удивилась.

— Ты это называешь пением? Ха-ха... Глупые же были твои хозяева, если кормили за

такое пение. Если б уж кого кормить, так настоящую птицу, как, например, меня... Давеча каркнула, — так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!..

— Я знаю Ваську... Самый страшный зверь. Он сколько раз подбирался к нашей клетке. Глаза зелёные, так и горят, выпустит когти...

— Ну, кому страшен, а кому и нет... Плут он большой, это верно, а страшного ничего нет. Ну, да об этом поговорим потом... А мне всё-таки не верится, что ты настоящая птица...

— Право, тётенька, я птица, совсем птица. Все канарейки — птицы...

— Хорошо, хорошо, увидим... А вот как ты жить будешь?

— Мне немного нужно: несколько зёрнышек, сахару кусочек, сухарик, — вот и сыта.

— Ишь какая барыня!.. Ну, без сахару ещё обойдёшься, а зёрнышек как-нибудь добудешь. Вообще ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на берёзе — отличное гнездо...

— Благодарю. Только вот воробьи...

— Будешь со мной жить, так никто не по-

смеет пальцем тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает мой характер. Я не люблю шутить...

Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с Вороной. Что же, гнездо отличное, если бы ещё сухарик да сахару кусочек...

Стали Ворона с Канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица не злая. Главным недостатком в её характере было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной.

— Ну чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут, — жаловалась она Канарейке. — Тоже вот взять голубей... Какой от них толк, а нет-нет и бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица... А чуть я подлечу — меня сейчас все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да ещё бранят вдогонку: «Эх ты, ворона!» А ты заметила, что я получше других буду да и покрасивее?.. Положим, про себя этого не приходится говорить, а заставляют сами. Не правда ли?

Канарейка соглашалась со всем:

— Да, ты большая птица…

— Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, ухаживают за ними, а чем попугай лучше меня?.. Так, самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать, а никто понять не может, о чём бормочет. Не правда ли?

— Да, у нас тоже был попугай и страшно всем надоедал.

— Да мало ли других таких птиц наберётся, которые и живут неизвестно зачем!.. Скворцы, например, прилетят как сумасшедшие неизвестно откуда, проживут лето и опять улетят. Ласточки тоже, синицы, соловьи, — мало ли такой дряни наберётся. Ни одной вообще серьёзной, настоящей птицы… Чуть холодком пахнёт, все и давай удирать куда глаза глядят.

В сущности, Ворона и Канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а Ворона не понимала в неволе.

— Неужели вам, тётенька, никто зёрнышка никогда не бросил? — удивлялась Канарейка. — Ну, одного зёрнышка?

— Какая ты глупая... Какие тут зёрнышки? Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень злы...

С последним Канарейка никак не могла согласиться, потому что её люди кормили. Может быть, это Вороне так кажется... Впрочем, Канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжёлый камень. Шли по улице школьники, увидели на заборе Ворону — как же не запустить в неё камнем?

— Ну что, теперь видела? — спрашивала Ворона, забравшись на крышу. — Вот все они такие, то есть люди.

— Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тётенька?

— Решительно ничем... Просто так злятся. Они меня все ненавидят...

Канарейке сделалось жаль бедную Ворону, которую никто, никто не любил. Ведь так и жить нельзя...

Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька... Какими маслеными глазами он поглядывал на всех птичек, притворял-

ся спящим, и Канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького, неопытного воробышка, — только косточки захрустели и перышки полетели... Ух, страшно! Потом ястреба — тоже хороши: плавает в воздухе, а потом камнем и падает на какую-нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыплёнка. Впрочем, Ворона не боялась ни кошек, ни ястребов и даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала Канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гнались за Вороной. Летят, пищат, трещат... Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде.

— Отдай, отдай! — неистово пищали воробьи, летая над вороньим гнездом. — Что же это такое? Это разбой!..

Ворона шмыгнула в своё гнездо, и Канарейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях мёртвого, окровавленного воробышка.

— Тётенька, что вы делаете?

— Молчи... — прошипела Ворона.

У неё глаза были страшные — так и светят-

ся... Канарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как Ворона будет рвать несчастного воробышка.

«Ведь так она и меня когда-нибудь съест», — думала Канарейка.

Но Ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет. Вообще, как заметила Канарейка, тётенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием Вороны, и Канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять Ворону было трудно: она съедала каждый день столько, сколько не съели бы двадцать канареек. И вся забота у Вороны была только о еде... Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает.

Когда Вороне было лень самой отыскивать пищу, она пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, а сама орёт во всё горло:

— Ах, некогда мне... совсем некогда!..

Подлетит, сцапает добычу и была такова.

— Ведь это нехорошо, тётенька, отнимать у других, — заметила однажды возмущённая Канарейка.

— Нехорошо? А если я постоянно есть хочу?

— И другие тоже хотят...

— Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, неженок, по клеткам всем кормят, а мы всё сами должны добивать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно?.. Поклевала зёрнышек и сыта на целый день.

Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, особенно когда шёл дождь. А Ворона точно ничего не замечает.

— Что же из того, что идёт дождь? — удивлялась она. — Идёт, идёт и перестанет.

— Да ведь холодно, тётенька! Ах, как холодно!..

Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая Канарейка вся дрожала. А Ворона ещё сер-

дится:

— Вот неженка!.. То ли ещё будет, когда ударит холод и пойдёт снег.

Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на белом свете. Она опять стала сомневаться, что уж птица ли эта Канарейка. Наверно, только притворяется птицей...

— Право, я самая настоящая птица, тётенька! — уверяла Канарейка со слезами на глазах. — Только мне бывает холодно...

— То-то, смотри! А мне всё кажется, что ты только притворяешься птицей...

— Нет, право, не притворяюсь.

Иногда Канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке... Там и тепло и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новые канарейки и завидовали ей.

— Ах, как холодно... — жалобно пищала зябнувшая Канарейка. — Пустите меня домой.

Раз утром, когда Канарейка выглянула из

вороньего гнезда, её поразила унылая картина: земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Всё было кругом белое... А главное — снег покрыл все те зёрнышки, которыми питалась Канарейка. Оставалась рябина, но она не могла есть эту кислую ягоду. Ворона — та сидит, клюёт рябину да похваливает:

— Ах, хороша ягода!..

Поголодав дня два, Канарейка пришла в отчаяние. Что же дальше-то будет?.. Этак можно и с голоду помереть...

Сидит Канарейка и горюет. А тут видит — прибежали в сад те самые школьники, которые бросали в Ворону камнем, разостлали на земле сетку, посыпали вкусного льняного семени и убежали.

— Да они совсем не злые, эти мальчики, — обрадовалась Канарейка, поглядывая на раскинутую сеть. — Тётенька, мальчики мне корму принесли!

— Хорош корм, нечего сказать! — заворчала Ворона. — Ты и не думай туда совать нос... Слышишь? Как только начнёшь клевать зёрнышки, так и попадёшь в сетку.

— А потом что будет?

— А потом опять в клетку посадят...

Взяло раздумье Канарейку: и поесть хочется, и в клетку не хочется. Конечно, и холодно и голодно, а всё-таки на воле жить куда лучше, особенно когда не идёт дождь.

Несколько дней крепилась Канарейка, но голод не тётка, — соблазнилась она приманкой и попалась в сетку.

— Батюшки, караул!.. — жалобно пищала она. — Никогда больше не буду... Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку!

Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. Ну да, конечно, бывало и холодно и голодно, а всё-таки — полная воля. Куда захотела, туда и полетела... Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят её опять в клетку. На её счастье, летела мимо Ворона и увидела, что дело плохо.

— Ах ты, глупая!.. — ворчала она. — Ведь я тебе говорила, что не трогай приманки.

— Тётенька, не буду больше...

Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу, но Во-

рона успела разорвать тонкую сетку, и Канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой Вороной, бросали в неё палками и камнями и бранили.

— Ах, как хорошо! — радовалась Канарейка, очутившись опять в своём гнезде.

— То-то хорошо. Смотри у меня... — ворчала Ворона.

Зажила опять Канарейка в вороньем гнезде и больше не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз Ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась домой, — лежит Канарейка в гнезде ножками вверх. Сделала Ворона голову набок, посмотрела и сказала:

— Ну, ведь говорила я, что это не птица!..

Умнее всех

I

Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, когда ещё было темно, разбудил жену и проговорил:

— Ведь я умнее всех? Да?

Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:

— Ах, какой умный... Кхе-кхе!.. Кто же этого не знает? Кхе...

— Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех — одна, это я.

— Умнее всех... кхе! Всех умнее... Кхе-кхе-кхе!..

— То-то.

Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:

— Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало.

— Нет, это тебе так кажется... Кхе-кхе! — успокаивала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь перышки. — Да, про-

сто кажется... Птицы умнее тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

— А Гусак? О, я всё понимаю... Положим, он прямо ничего не говорит, а больше всё молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает...

— А ты не обращай на него внимания. Не стоит... кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

— Кто же этого не видит? У него на лице написано: глупый гусак, и больше ничего. Да... Но Гусак ещё ничего, — разве можно сердиться на глупую птицу? А вот Петух, простой самый петух... Что он кричал про меня третьего дня? И ещё как кричал — все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым... Что-то в этом роде вообще.

— Ах, какой ты странный! — удивлялась Индюшка. — Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

— Ну, отчего?

— Кхе-кхе-кхе... Очень просто, и всем известно. Ты — петух, и он — петух, только он совсем-совсем простой петух, самый обыкновенный петух, а ты — настоящий индейский,

заморский петух, — вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом... Кхе-кхе-кхе!..

— Ну, это трудненько, матушка... Ха-ха! Ишь чего захотели! Какой-нибудь простой петушишка — и вдруг хочет сделаться индейским, — нет, брат, шалишь!.. Никогда ему не бывать индейским.

Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня, — не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже и драку. Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы, но найдите птицу без недостатков? Вот то-то и есть! Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток.

Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по

двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали:

— Ах-куда! Ах-куда-куда-куда... Мы есть хотим! Кухарка Матрёна, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду...

— Господа, имейте терпение, — заметил стоявший на одной ноге Гусак. — Смотрите на меня: я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал на всю глотку... вот так... Го-го!.. Или так: и-го-го-го!!.

Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрёна сразу проснулась.

— Хорошо ему говорить о терпении, — ворчала одна Утка, — вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась скорее всех, а другим советовала бы терпеть... Знаем мы это гусиное терпение...

Утку поддержал Петух и крикнул:

— Да, хорошо Гусаку говорить о терпении... А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно — хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились, и я хотел Гусаку проклевать

голову, — не отпираюсь, было такое намеренье, — но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

Голодные птицы, как, голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.

II

Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрёна отгонит другую жадную птицу и позовёт его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.

— Кхе-кхе... ах, как мне хочется кушать! — жаловалась Индюшка, вышагивая за мужем. — Вот уж Матрёна бросила овса... да... и, кажется, остатки вчерашней каши... кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, всегда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу её ночью во сне...

Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы Индюк непременно её жалел. Среди других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно

ноги приделаны были к ней только вчера.

— Да, хорошо и каши поесть, — соглашался с ней Индюк. — Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Если меня хозяин не будет кормить, я умру с голода... так? А где же он найдёт другого такого индюка?

— Другого такого нигде нет...

— Вот то-то... А каша, в сущности, пустяки. Да... Дело не в каше, а в Матрёне. Так я говорю? Была бы Матрёна, а каша будет. Всё на свете зависит от одной Матрёны — и овёс, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрёна не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нём? Ведь это и совсем скверная штука...

Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула:

— Ах-куда!..

Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом: «Ах-куда! куда-куда…» А всех сильнее, конечно, заорал Петух:

— Карраул!.. Кто там?

Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

— Да это простой камень, — заметил кто-то.

— Он шевелился, — объяснила Курочка. — Я тоже думала, что камень, подошла, а он как пошевелится… Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает.

— Мало ли что может показаться со страха глупой курице, — заметил Индюк. — Может быть, это… это…

— Да это гриб! — крикнул Гусак. — Я видал точно такие грибы, только без игол.

Все громко рассмеялись над Гусаком.

— Скорее это походит на шапку, — попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.

— Разве у шапки бывают глаза, господа?

— Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать, — решил за всех Петух. —

Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю... слышишь?

Так как ответа не было, то Петух счёл себя оскорблённым и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошёл в сторону.

— Это... это громадная репейная шишка, и больше ничего, — объяснил он. — Вкусного ничего нет... Не желает ли кто-нибудь попробовать?

Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:

— Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть Индюк? Он всё знает...

— Конечно, знаю, — отозвался Индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.

— А если знаешь, так скажи нам.

— А если я не хочу? Так, просто не хочу.

Все принялись упрашивать Индюка.

— Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну скажи, голубчик... Чего тебе стоит сказать?

Индюк долго ломался и наконец проговорил:

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу... да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?

— Кто же не знает, что ты самая умная птица!.. — ответили все хором. — Так и говорят: умён, как индюк.

— Значит, вы меня уважаете?

— Уважаем! Все уважаем!..

Индюк ещё немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошёл мудрёного зверя три раза кругом и проговорил:

— Это... да... Хотите знать, что это?

— Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.

— Это — кто-то куда-то ползёт...

Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:

— Вот так самая умная птица!.. хи-хи...

Из-под игол показалась чёрненькая мор-

дочка с двумя чёрными глазами, понюхала воздух и проговорила:

— Здравствуйте, господа... Да как же вы это Ежа-то не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смешной Индюк, извините меня, какой он... Как это вежливее сказать?.. Ну, глупый Индюк...

III

Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанёс Еж Индюку. Конечно, Индюк сказал глупость, это верно, но из этого ещё не следует, что Еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо: прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а Индюк всё-таки важная, представительная птица и уж не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и поднялся страшный гвалт.

— Вероятно, Ёж и нас всех тоже считает глупыми! — кричал Петух, хлопая крыльями

— Он нас всех оскорбил!..

— Если кто глуп, так это он, то есть Еж, — заявлял Гусак, вытягивая шею. — Я это сразу заметил... да!..

— Разве грибы могут быть глупыми? — отвечал Еж.

— Господа, что мы с ним напрасно разговариваем! — кричал Петух. — Всё равно он ничего не поймёт... Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да... Если, например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся за его щетину с другой, — сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной...

— Что же, я согласен... — заявил Гусак. — Ещё будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, будете его клевать прямо в морду... Так, господа? Кто умнее, сейчас и будет видно.

Индюк всё время молчал. Сначала его ошеломила дерзость Ежа, и он не нашёлся, что ему ответить. Потом Индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и ещё раз убедились, какая серьёзная и строгая птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, страшно

надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем всё кончится.

Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в разные стороны, Индюк остановил его усердие:

— Позвольте, господа... Может быть, мы устроим всё это дело миром... Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне всё дело...

— Хорошо, мы подождём, — неохотно согласился Петух, желавший подраться с Ежом поскорее. — Только из этого всё равно ничего не выйдет...

— А уж это моё дело, — спокойно ответил Индюк. — Да вот слушайте, как я буду разговаривать...

Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк обошёл его кругом, откашлялся и сказал:

— Послушайте, господин Еж... Объясним-тесь серьёзно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

«Боже, как он умён, как умён!..» — думала

Индюшка, слушая мужа в немом восторге.

— Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе, — продолжал Индюк. — Это что-нибудь значит... да... Многие считают за честь попасть к нам на двор, но — увы! — это редко кому удаётся.

— Правда! Правда!.. — послышались голоса.

— Но это так, между нами, а главное не в этом...

Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал:

— Да, так главное... Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух тоже, и другие... Не правда ли, господа?

— Совершенно справедливо, Индюк! — крикнули все разом так громко, что Еж спрятал свою чёрную мордочку.

«Ах, какой он умный!» — думала Индюшка, начинавшая догадываться в чём дело.

— Как видите, господин Еж, мы все любим пошутить, — продолжал Индюк. — Я уж не го-

ворю о себе... да. Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин Еж, тоже обладаете весёлым характером...

— О, вы угадали, — признался Еж, опять выставляя мордочку. — У меня такой весёлый характер, что я даже не могу спать по ночам... Многие этого не выносят, а мне скучно спать.

— Ну, вот видите... Вы, вероятно, сойдётесь характером с нашим Петухом, который горланит по ночам как сумасшедший.

Всем вдруг сделалось весело, точно каждому для полноты жизни только и недоставало Ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда Еж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.

— Кстати, господин Еж, признайтесь, — заговорил Индюк, подмигнув, — ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня... да... ну, неумной птицей?

— Конечно, пошутил! — уверял Еж. — У меня уж такой характер весёлый!..

— Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? — спрашивал Индюк всех.

— Слышали... Кто же мог в этом сомневаться!

Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему по секрету:

— Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну... да... Только условие: никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделаете, если я — самая умная птица! Меня это иногда даже немного стесняет, но шила в мешке не утаишь... Пожалуйста, только никому об этом ни слова!..

Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке

I

Как хотите, а это было удивительно! А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашкой, так и начнётся. Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор:

— Я — Молочко...

— А я — овсяная Кашка!

Сначала разговор идёт тихонько, шёпотом,

а потом Кашка и Молочко начинают постепенно горячиться.

— Я — Молочко!

— А я — овсяная Кашка!

Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил:

— А я всё-таки овсяная Кашка... пум!

Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. Скажите, пожалуйста, какая невидаль — какая-то овсяная каша! Молочко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка недосмотрит, глядит — Молочко и полилось на горячую плиту.

— Ах, уж это мне Молочко! — жаловалась каждый раз кухарка. — Чуть-чуть недосмотришь — оно и убежит.

— Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер! — оправдывалось Молочко. — Я и само не радо, когда сержусь. А тут ещё Кашка постоянно хвастает: «Я — Кашка, я — Кашка, я — Кашка...» Сидит у себя в кастрюльке и ворчит; ну, я и рассержусь.

Дело иногда доходило до того, что и Кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку, — так и поползёт на плиту, а сама всё повторяет:

— А я — Кашка! Кашка! Кашка… шшш!

Правда, что это случалось не часто, но всё-таки случалось, и кухарка в отчаянии повторяла который раз:

— Уж эта мне Кашка!.. И что ей не сидится в кастрюльке, просто удивительно!

II

Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения… Например, чего стоил один кот Мурка! Заметьте, что это был очень красивый кот и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце.

— Вот-то ненасытная утроба! — удивлялась кухарка, отгоняя кота. — Сколько вчера ты одной печёнки съел?

— Так ведь то было вчера! — удивлялся в свою очередь Мурка. — А сегодня я опять хочу

есть... Мяу-у!..

— Ловил бы мышей и ел, лентяй.

— Да, хорошо это говорить, а попробовала бы сама поймать хоть одну мышь, — оправдывался Мурка. — Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь... Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась... Ведь это только легко говорить: лови мышей!

Наевшись печёнки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал.

— Видишь, до чего наелся! — удивлялась кухарка. — И глаза зажмурил, лежебок... И всё подавай ему мяса!

— Ведь я не монах, чтобы не есть мяса, — оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. — Потом, я и рыбки люблю покушать... Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше: печёнка или рыба. Из вежливости я ем то и другое... Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам но-

сит печёнку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт...

Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами, для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица.

— Я тебя знаю, старый плут! — кричит Скворец сверху. — Нечего смотреть на меня...

— А если мне хочется познакомиться с тобой?

— Знаю я, как ты знакомишься... Кто недавно съел настоящего, живого воробышка? У, противный!..

— Нисколько не противный, — и даже наоборот. Меня все любят... Иди ко мне, я сказочку расскажу.

— Ах, плут... Нечего сказать, хороший сказочник! Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыплёнку, которого стащил в кухне. Хорош!

— Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыплёнка, то я его действительно съел; но ведь он

уже никуда всё равно не годился.

III

Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко и Кашка. Он никак не мог понять, в чём тут дело, и только моргал.

— Я — Молочко.

— Я — Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш...

— Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю, — говорил Мурка. — Из-за чего сердятся? Например, если я буду повторять: я — кот, я — кот, кот, кот... Разве кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю... Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.

Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причём поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками.

— Ну что я теперь буду делать? — жаловалась она, отставляя с плиты Молочко и Кашку. — Нельзя отвернуться...

Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас

же воспользовался. Он подсел к Молочку, подул на него и проговорил:

— Пожалуйста, не сердитесь, Молочко...

Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошёл его кругом, ещё раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково:

— Вот что, господа... Ссориться вообще нехорошо. Да. Выберите меня мировым судьёй, и я сейчас же разберу ваше дело...

Сидевший в щели чёрный Таракан даже поперхнулся от смеха: «Вот так мировой судья... Ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чём дело и из-за чего они спорили.

— Хорошо, хорошо, я всё разберу, — говорил кот Мурка. — Я уж не покривлю душой... Ну, начнём с Молочка.

Он обошёл несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, подул на Молочко сверху и начал лакать.

— Батюшки!.. Караул! — закричал Таракан. — Он всё молоко вылакает, а подумают на меня!

Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном как ни в чём не бывало.

— Ах ты, негодный! — бранила его кухарка, хватая за ухо. — Кто выпил молоко, сказывай?

Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил:

— Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает...

Пора спать

I

Засыпает один глазок у Алёнушки, засыпает другое ушко у Алёнушки...

— Папа, ты здесь?

— Здесь, деточка...

— Знаешь что, папа... Я хочу быть царицей...

Заснула Алёнушка и улыбается во сне.

Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Алёнушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, жёлтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые, — точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными — огоньками и весёлыми детскими глазками.

— Алёнушка хочет быть царицей! — весело звенели полевые Колокольчики, качаясь на тоненьких зелёных ножках.

— Ах, какая она смешная! — шептали скромные Незабудки.

— Господа, это дело нужно серьёзно обсу-

дить, — задорно вмешался жёлтый Одуванчик. — Я, по крайней мере, никак этого не ожидал...

— Что такое значит — быть царицей? — спрашивал синий полевой Василёк. — Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков.

— Очень просто... — вмешалась розовая Гвоздика. — Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица — это... это... Вы всё-таки ничего не понимаете? Ах, какие вы странные... Царица — это когда цветок розовый, как я. Другими словами: Алёнушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно?

Все весело засмеялись. Молчали только одни Розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов — одна Роза, нежная, благоухающая, чудная? И вдруг какая-то Гвоздика называет себя царицей... Это ни на что не похоже. Наконец одна Роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила:

— Нет, извините, Алёнушка хочет быть розой... да! Роза потому царица, что все её любят.

— Вот это мило! — рассердился Одуванчик. — А за кого же, в таком случае, вы меня принимаете?

— Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста, — уговаривали его лесные Колокольчики. — Это портит характер и притом некрасиво. Вот мы — мы молчим о том, что Алёнушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой.

II

Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные — как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика; а цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали — розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Алёнушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные!

— Алёнушка нас очень любит, — шептали Фиалки. — Ведь мы весной являемся первыми. Только снег стает — и мы тут.

— И мы тоже, — говорили Ландыши. — Мы

тоже весенние цветочки... Мы неприхотливы и растём прямо в лесу.

— А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле? — жаловались душистые кудрявые Левкои и Гиацинты. — Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине... У вас, на севере, так холодно. Нас Алёнушка тоже любит, и даже очень...

— И у нас тоже хорошо, — спорили полевые цветы. — Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово... А потом, холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо.

— Мы тоже любим холод, — прибавили от себя Розы.

То же сказали Азалии и Камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет.

— Вот что, господа, будемте рассказывать о своей родине, — предложил белый Нарцисс. — Это очень интересно... Алёнушка нас послушает. Ведь она и нас любит...

Тут заговорили все разом. Розы со слезами

вспоминали благословенные долины Шираза, Гиацинты — Палестину, Азалии — Америку, Лилии — Египет... Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо!.. Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут, какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, похожих на летающие цветы, и цветов, похожих на бабочек...

— Мы на севере только гости, нам холодно, — шептали все эти южные растения.

Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льёт холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но всё-таки снег.

— У вас есть громадный недостаток, — объяснил Василёк, наслушавшись этих рассказов. — Не спорю, вы, пожалуй, красивее иногда нас, простых полевых цветочков, — я это охотно допускаю... да... Одним словом, вы — наши дорогие гости, а ваш главный недостаток в том, что вы растёте только для богатых

людей, а мы растём для всех. Мы гораздо добрее... Вот я, например, — меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребёнка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям!.. За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом...

III

Алёнушка слушала всё, о чём рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть всё самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили.

— Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы, — проговорила она наконец. — Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой!..

Она не успела ещё договорить, как к ней подползла божья Коровка, настоящая божья коровка, такая красненькая, с чёрными пятнышками, с чёрной головкой и такими тоненькими чёрными усиками и чёрными тоненькими ножками.

— Алёнушка, полетим! — шепнула божья Коровка, шевеля усиками.

— А у меня нет крылышек, божья Коровка!

— Садись на меня...

— Как же я сяду, когда ты маленькая?

— А вот смотри...

Алёнушка начала смотреть и удивлялась всё больше и больше. Божья Коровка расправила верхние жёсткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки и сделалась ещё больше. Она росла на глазах у Алёнушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Алёнушка могла свободно сесть к ней на спинку, между красными крылышками. Это было очень удобно.

— Тебе хорошо, Алёнушка? — спрашивала божья Коровка.

— Очень.

— Ну, держись теперь крепче...

В первое мгновение, когда они полетели, Алёнушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит всё под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом лёгкая, как пушинка с одуванчика. А божья Коровка летела быстро-быстро, так, что

только свистел воздух между крылышками.

— Смотри, что там внизу... — говорила ей божья Коровка.

Алёнушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками.

— Ах, сколько роз... красные, жёлтые, белые, розовые!

Земля была точно покрыта живым ковром из роз.

— Спустимся на землю, — просила она божью Коровку.

Они спустились, причём Алёнушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья Коровка сделалась маленькой.

Алёнушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы; и от их аромата кружится голова. Если бы всё это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!..

— Ну, теперь летим дальше, — сказала божья Коровка, расправляя свои крылышки.

Она опять сделалась большой-большой, а Алёнушка — маленькой-маленькой.

IV

Они опять полетели.

Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу ещё синее — море. Они летели над крутым и скалистым берегом.

— Неужели мы полетим через море? — спрашивала Алёнушка.

— Да... только сиди смирно и держись крепче.

Сначала Алёнушке было даже страшно, а потом ничего. Кроме неба и воды, ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли... Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво, как хорошо!.. А впереди уже виднеется морской берег — низкий, жёлтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мёртвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья Коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зелёные папирусы и лилии, чудные, нежные лилии.

— Как хорошо здесь у вас, — заговорила с ними Алёнушка. — Это у вас не бывает зимы?

— А что такое зима? — удивлялись Лилии.

— Зима — это когда идёт снег...

— А что такое снег?

Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они её не видали, а говорили с чужих слов.

Алёнушка тоже не верила, что не бывает зимы. Значит, и шубки не нужно и валенок?

Полетели дальше. Но Алёнушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожжённой солнцем пустыне, где росли гиацинты.

— Мне жарко... — жаловалась она. — Знаешь, божья Коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето.

— Кто как привык, Алёнушка.

Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц — зе-

лёных, красных, жёлтых, синих... Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пёстрые; были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек, — весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками.

— Это орхидеи, — объяснила божья Коровка.

Ходить здесь было невозможно — так всё переплелось.

Они полетели дальше. Вот разлилась среди зелёных берегов громадная река. Божья Коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Алёнушка ещё не видела.

— Это священный цветок, — объяснила божья Коровка. — Он называется лотосом...

V

Алёнушка так много видела, что наконец устала. Ей захотелось домой: всё-таки дома лучше.

— Я люблю снежок, — говорила Алёнушка. — Без зимы нехорошо...

Они опять полетели, и чем поднимались

выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Алёнушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую ёлочку.

— Елочка, ёлочка! — крикнула она.

— Здравствуй, Алёнушка! — крикнула ей снизу зелёная Елочка.

Это была настоящая рождественская Елочка — Алёнушка сразу её узнала. Ах, какая милая Елочка!.. Алёнушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно!.. Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Алёнушка закрыла глаза и не знала, жива ли она или умерла.

— Ты это как сюда попала, крошка? — спросил её кто-то.

Алёнушка открыла глаза и увидела седого-седого сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные ёлки, золотые звёзды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот старик!.. Он сейчас же взял её на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил:

— Как ты сюда попала, маленькая девочка?

— Я путешествовала на божьей Коровке... Ах, сколько я видела, дедушка!..

— Так, так...

— А я тебя знаю, дедушка! Ты приносишь деткам ёлки...

— Так, так... И сейчас я устраиваю тоже ёлку.

Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на ёлку.

— Какая же это ёлка, дедушка? Это просто большая палка...

— А вот увидишь...

Старик понёс Алёнушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уже ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали:

— Елка! Елка!..

Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают: воро-

бышки, кузьки, овсянки, — и принялись клевать зерно.

— Это наша ёлка! — кричали они.

Алёнушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают ёлку для птичек зимой.

Ах, как весело!.. Ах, какой добрый старичок! Один воробышек, суетившийся больше всех, сразу узнал Алёнушку и крикнул:

— Да ведь это Алёнушка! Я её отлично знаю... Она меня не один раз кормила крошками. Да...

И другие воробышки тоже узнали её и страшно запищали от радости.

Прилетел ещё один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зёрна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом.

Алёнушка его узнала.

— Здравствуй, воробышек!..

— Ах, это ты, Алёнушка? Здравствуй!..

Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику:

— А ведь она, Алёнушка, хочет быть цари-

цей... Да, я давеча слышал сам, как она это говорила.

— Ты хочешь быть царицей, крошка? — спросил старик.

— Очень хочу, дедушка!

— Отлично. Нет ничего проще: всякая царица — женщина, и всякая женщина — царица... Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам.

Божья Коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро... А там уж ждут Алёнушку все цветочки. Они всё время спорили о том, что такое царица.

Баю-баю-баю...

Один глазок у Алёнушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Алёнушки спит, другое — слушает. Все теперь собрались около Алёнушкиной кроватки: и храбрый Заяц, и Медведко, и забияка Петух, и Воробей, и Воронушка — чёрная головушка, и Ерш Ершович, и маленькая-маленькая Козявочка. Все тут, все у Алёнушки.

— Папа, я всех люблю... — шепчет Алёнуш-

ка. — Я и чёрных тараканов, папа, люблю...

Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко... А около Алёнушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка, улыбаются цветочки, — много цветочков: голубые, розовые, жёлтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зелёная берёзка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовёт к себе Алёнушку синяя морская волна...

— Спи, Алёнушка! Набирайся силушки...

Баю-баю-баю...

Примечания

1

То есть при смерти.

[^^^]

2

Шары, по уральскому говору, — глаза.

[^^^]

3

Супериками на Урале называются крупные драгоценные камни, преимущественно тяжеловесы.

[^^^]

4

Неравный брак.

[^^^]

5

Восетта — в прошлый раз.

[^^^]

6

На золотник выйти — найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник.

[^^^]

7

Якшить — от татарского слова якши: да, поддакивать, дружить.

[^^^]

8

Галиться — насмехаться.

[^^^]

9

Дивно — порядочно, достаточно.

[^^^]

10

Мой ангел *(фр.)*.

[^^^]

11

Навязчивая идея *(фр.).*

[^^^]

12

Я восхищена! *(фр.).*

[^^^]

13

моя маленькая козочка!.. *(фр.).*

[^^^]

14

моя крошка *(фр.)*.

[^^^]

знатной дамы *(фр.)*.

[^^^]

серебристо-серый *(фр.)*.

[^^^]

золотой молодежи *(фр.).*

[^^^]

высшего света *(фр.)*.

[^^^]

зятем *(фр.).*

[^^^]

образ жизни *(лат.)*.

[^^^]

вечера *(фр.)*.

[^^^]

22

изысканные выражения *(фр.)*.

[^^^]

23

Она так невинна, что почти ничего не понимает... *(фр.).*

[^^^]

24

свидание наедине *(фр.)*.

[^^^]

денежного вопроса *(фр.).*

[^^^]

маменьки *(от нем. Mutterchen).*

[^^^]

индийском пробковом шлеме *(англ.)*.

[^^^]

редкий экземпляр *(лат.)*.

[^^^]

по преимуществу *(фр.)*.

[^^^]

остроты *(фр.).*

[^^^]

31

человек человеку — волк *(лат.)*.

[^^^]

32

Слезы Христа *(лат.)*.

[^^^]

свидание *(фр.).*

[^^^]

34

всем прочим *(итал.).*

[^^^]

увеселительные прогулки *(фр.)*.

[^^^]

36

Темир-Ленк — Тимур Ланг, или Тамерлан (1336–1405), среднеазиатский полководец и завоеватель.

[^^^]

представление окончено *(итал.)*.

[^^^]

до востребования *(фр.).*

[^^^]

втроем... *(фр.).*

[^^^]

40

Бус — хлебная пыль, которая летит при размолке зерна.

[^^^]

41

Поскотина — изгородь, которой отделяется выгон.

[^^^]

42

Виноходец — иноходец.

[^^^]

43

О, да... *(англ.).*

[^^^]

44

Ян Матейко (1838–1893) — выдающийся польский живописец.

[^^^]

45

Семирадский Генрих Ипполитович (1843–1902) — русский живописец.

[^^^]

46

«*Двоеданы*» — в очерках «Бойцы» Мамин-Сибиряк дает такое объяснение данного термина: «Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать»

[^^^]

47

Кириллова книга — изданный в 1644 году в Москве сборник статей, направленных против католической церкви; название получил по первой статье сборника, связанной с именем Кирилла Иерусалимского.

[^^^]

48

Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо... *(лат.).*

[^^^]

49

Всякому свое *(лат.).*

[^^^]

50

Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — русский генерал-фельдмаршал, в 1828–1829 годах руководил военными действиями против турок в Малой Азии.

[^^^]

жизнеописание *(лат.)*.

[^^^]

52

Доктор Панглос — персонаж повести Вольтера (1694–1778) «Кандид» (1759).

[^^^]

53

моя маленькая *(фр.)*.

[^^^]

нового человека *(лат.).*

[^^^]

игривости, нескромности (от *фр.* grivois).

[^^^]

шедевром *(фр.).*

[^^^]

высший свет *(фр.).*

[^^^]

58

компаньонках *(фр.)*.

[^^^]

59

Здесь в смысле — развлечение *(фр.)*.

[^^^]

мадмуазель Луиза *(фр.).*

[^^^]

из Риги *(нем.)*.

[^^^]

выскочки *(фр.).*

[^^^]

63

«Прекрасной Елены» *(фр.).*

[^^^]

увеселительные прогулки *(фр.)*.

[^^^]

65

Брунгильда, принеси!.. *(фр.)*.

[^^^]

полусвета *(фр.)*.

[^^^]

чистой крови *(фр.)*.

[^^^]

поцелуйчик (от *нем.* küsschen).

[^^^]

69

Здесь в смысле — аристократической молодежи Англии *(англ.)*.

[^^^]

золотой молодежи *(фр.).*

[^^^]

71

Дам *(фр.).*

[^^^]

приписке *(лат.)*.

[^^^]

остроумного человека *(фр.).*

[^^^]

74

Кто-то и почему-то окрестил эту рыбу ученым именем — *хариус;* на Урале ее называют просто — *харюз,* и последнее название, по нашему мнению, больше отвечает складу русской речи. *(прим. автора)*

[^^^]

75

Сударыни! *(фр.)*.

[^^^]

76

Сакма — свежий след зверя на траве. *(прим. автора)*

[^^^]

77

Ищи! *(фр.)*.

[^^^]

неравных браков *(фр.).*

[^^^]

свидания *(фр.).*

[^^^]

убеждение *(фр.)*.

[^^^]

81

навязчивая мысль *(фр.)*.

[^^^]

первого любовника *(фр.)*.

[^^^]

83

громкие судебные дела *(фр.).*

[^^^]

84

«Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог» — у Г. Р. Державина (1743–1816): «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!» (Ода «Бог», 1784).

[^^^]

85

Гафиз (Хафиз) (1320–1389) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

[^^^]

86

«Надо мной певала матушка...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Калистрат» (1863).

[^^^]

комедия окончена... *(итал.).*

[^^^]

88

Лука Жидята — новгородский епископ (первая половина XI века), автор «Поучения к братиям», одного из самых ранних произведений русской духовной литературы.

[^^^]

89

«Угрюмый пасынок природы» — у А. С. Пушкина в «Медном всаднике» (1833): «Печальный пасынок природы».

[^^^]

невзгоды... *(лат.).*

[^^^]

91

Боа-констриктор — змея из семейства удавов.

[^^^]

92

«...подозрение да не коснется жены цезаря» — фраза, приписываемая римскому императору Юлию Цезарю (100-44 гг. до н. э.).

[^^^]

разумеется *(лат.)*.

[^^^]

в полном составе *(лат.)*.

[^^^]

местный колорит *(фр.).*

[^^^]

96

Патти Аделина (1843–1919) — знаменитая итальянская оперная певица, в 60-х годах прошлого века пела в итальянской опере в Петербурге.

[^^^]

97

«Динора» — комическая опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791–1864).

[^^^]

98

Николини — оперный певец, француз по происхождению, муж Аделины Патти.

[^^^]

99

«Царь Кандавл» — балет Ц. Пуни.

[^^^]

100

— Жребий брошен *(лат.)*.

[^^^]

стрелка *(фр.)*.

[^^^]

про себя *(фр.)*.

[^^^]

103

Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд. — У Гоголя в «Записках сумасшедшего» Поприщин воображал себя испанским королем Фердинандом.

[^^^]

104

на лоне природы *(нем.)*.

[^^^]

дети мои... *(фр.).*

[^^^]

коллегию составляют трое *(лат.)*.

[^^^]

107

Здесь — на свежем воздухе *(фр.)*.

[^^^]

108

Здесь — в дополнение *(фр.)*.

[^^^]

109

— Увеселительная прогулка *(фр.)*.

[^^^]

наедине *(фр.)*.

[^^^]

111

Я кончил *(лат.)*.

[^^^]

112

«...От ликующих, праздно болтающих...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

[^^^]

113

Фирдуси (Фирдоуси) (935-1021) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

[^^^]

114

Лушка Каторз — так в шутку Пепко называет французского короля Людовика XIV (от Louis Quatorze).

[^^^]

115

Цинциннат Луций Квинкций (V в. до н. э.) — римский консул, крупный землевладелец.

[^^^]

116

Голконда — древний город в Индии, славившийся своими богатствами.

[^^^]

117

«Даже самая красивая девушка не может дать больше того, чем она располагает» *(фр.).*

[^^^]

в курсе *(фр.)*.

[^^^]

119

Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769–1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник.

[^^^]

труп *(лат.)*.

[^^^]

121

Мария Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI.

[^^^]

122

Луишка Сез — так Пепко в шутку называет французского короля Людовика XVI (от Loui Seize).

[^^^]

123

«Не говори, что молодость сгубила...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю» (1855).

[^^^]

чистокровного *(фр.)*.

[^^^]

125

— Сабля моего отца? *(фр.)*.

[^^^]

126

Саади (ок. 1184 — ок. 1292) — поэт, классик таджикской и иранской литературы.

[^^^]

127

Образ жизни *(лат.)*.

[^^^]

128

Времена меняются... *(лат.).*

[^^^]

129

Базаров и Николай Петрович Кирсанов — персонажи из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

[^^^]

130

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

[^^^]

131

Порочный круг *(лат.)*.

[^^^]

132

Нового человека *(лат.).*

[^^^]

133

Пряденики — пеньковая обувь.

[^^^]

134

Кученок — угольная куча, в которой дожигается уголь.

[^^^]

135

Фаланстериями социалист-утопист Фурье называл помещения-дворцы, в которых должны были, по его проекту, жить и выполнять некоторые работы члены фаланги — основной производственно-потребительской ячейки идеального гармонического общества.

[^^^]

136

Хина — здесь от кохинхинка — порода кур, завезенных в Европу из Кохинхины (Индокитай).

[^^^]

137

Волей-неволей *(лат.)*.

[^^^]

138

Авгиевы стойла — в древнегреческой мифологии конюшни царя Авгия, которые не чистились в течение 30 лет и были сразу очищены Гераклом, направившим в них реку Алфей.

[^^^]

139

Эти цены стояли до проведения Уральской железной дороги, а теперь в Пеньковке пуд ржаной муки стоит 1 р. 30 к. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

140

Осеннее — повинность с прихода в пользу церковного причта, сбор хлеба.

[^^^]

141

По библейскому сказанию, Иродиада была любовницей правителя Галилеи, Ирода Антипы — брата своего мужа; эту преступную связь открыто осуждал Иоанн Креститель; мстительная Иродиада добилась в награду за пляску своей дочери Соломин казни Иоанна Крестителя

[^^^]

142

Как порядочный *(фр.)*.

[^^^]

143

Филемон и Бавкида — персонажи древней легенды, обработанной Овидием. Идеальная супружеская чета, они горячо любили друг друга, были радушны, незлобивы и добры.

[^^^]

144

Пиво... *(нем.).*

[^^^]

145

Воркуны — бубенчики; здесь в смысле сбежали, струсили.

[^^^]

146

Опасный прыжок *(лат.)*.

[^^^]

147

Можно надеяться... *(лат.).*

[^^^]

148

Представление окончено *(итал.)*.

[^^^]

149

От возвышенного до смешного — один шаг *(фр.).*

[^^^]

150

Казенка — здесь каморка, клетушка.

[^^^]

151

Косная — легкая остродонная лодка.

[^^^]

152

Поземина — вяленая рыба.

[^^^]

153

Для того, чтобы провести время *(фр.)*.

[^^^]

154

По библейскому сказанию, юноша Иосиф был продан братьями в Египет, к царедворцу фараона Пентефрию; жена Пентефрия неоднократно пыталась соблазнить Иосифа; однажды она схватила его, но он вырвался, оставив в руках ее свою одежду. Показав одежду слугам и мужу, жена Пентефрия оклеветала Иосифа, и его посадили в тюрьму.

[^^^]

155

Консистория — это обирание попов, дьяконов, дьячков и просвирен... *(лат.).*

[^^^]

156

До преобразования духовных уездных училищ в них полагалось три класса или отделения; в каждом отделении учились два года.

[^^^]

157

Гвельфы и гибеллины — политические партии в Италии XII–XV вв.; гвельфы боролись на стороне римских пап против германских императоров и их приверженцев в Италии — гибеллинов; гибеллины состояли в основном из представителей феодальной знати.

[^^^]

158

Неточная передача стиха Пушкина *«Гляжу как безумный на черную шаль»*.

[^^^]

159

Шары — глаза.

[^^^]

Своего рода *(лат.)*.

[^^^]

161

Соответствует русской поговорке: «Сытое брюхо к ученью глухо» *(лат.).*

[^^^]

162

Казинетовый — из полушерстяной ткани.

[^^^]

163

Камлотовый — из грубой шерстяной ткани.

[^^^]

Казеннокоштный — обучающийся на средства казны.

[^^^]

165

Дело было в философии — речь идет о философском отделении семинарии.

[^^^]

166

При освобождении крестьян от крепостной зависимости в 1861 году составлялись акты или уставные грамоты, определявшие поземельные отношения между помещиками и крестьянами до совершения выкупной сделки.

[^^^]

Даровой надел (или дарственный) — земельный надел, равный 1/4 высшего, установленного Положением 19 февраля 1861 г. для данной местности, этот надел помещик предоставлял крестьянам без выкупа, для нормального ведения крестьянского хозяйства его было совершенно недостаточно, и разоренные крестьяне попадали в полную зависимость от помещика.

[^^^]

168

Прохирь — проныра.

[^^^]

169

Из деревни Моховой.

[^^^]

170

Взаболь — действительно, в самом деле.

[^^^]

Лонись — в прошлом году.

[^^^]

172

Припущенники — поселенцы на землях коренных владельцев, здесь — на башкирских.

[^^^]

173

«Палаустными» на Урале называют такие балаганы, которые строятся наподобие детских домиков из двух карт.

[^^^]

174

Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабочих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска.

[^^^]

175

Странное — страннническое.

[^^^]

176

Роптать.

[^^^]

177

Аргонавты — герои одного из древнегреческих мифов, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду (совр. Закавказье) за золотым руном.

[^^^]

178

Остротами *(фр.)*.

[^^^]

179

Прикержачиваете — склоняетесь к расколу.

[^^^]

180

Золотая молодежь *(фр.)*.

[^^^]

181

В худых душах — при смерти.

[^^^]

182

Несосветимые — каких во всем свете не найти.

[^^^]

183

Боткин С. П. (1832–1889) — профессор Петербургской Военно-медицинской академии.

[^^^]

184

Гляди, гляди.

[^^^]

185

Зорят — смотрят.

[^^^]

186

Тамоди — там.

[^^^]

187

Доспиет — поспеет.

[^^^]

Маркс — «Капитал» *(нем.).*

[^^^]

189

Матери-кормилице. Здесь имеется в виду учебное заведение.

[^^^]

190

«В худых душах» — равносильно при смерти, в ожидании смерти.

[^^^]

191

Так проходит земная слава! *(лат.).*

[^^^]

192

Господин *(лат.)*.

[^^^]

следовательно *(лат.)*.

[^^^]

194

Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор.

[^^^]

195

Поляш, или косач — тетерев-березовик, *польнюшка* — тетерька. *Залобовать* — убить.

[^^^]

196

Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах *копалухой*, а глухарят — *копалятами*.

[^^^]

Шары — глаза.

[^^^]

198

Мыслете — старинное название буквы «м». Писать мыслете — идти нетвердым шагом.

[^^^]

199

Ферт — старинное название буквы «ф».

[^^^]

200

Азям — крестьянская верхняя длиннополая одежда.

[^^^]

201

Спишка — спуск барок на воду (от слова «спихнуть»).

[^^^]

202

Сименс Фридрих, немецкий инженер, усовершенствовал процесс варки стали.

[^^^]

203

Кислы — проквашенная мелкая капуста.

[^^^]

204

Лопотина — верхняя одежда, вообще платье.

[^^^]

205

Обуй — обувь.

[^^^]

206

Талант — древняя денежная единица; в евангелии рассказывается о рабе, который закопал в землю деньги, оставленные ему господином во время его отсутствия; по возвращении хозяина раб выкопал деньги и возвратил их полностью; другой раб пустил оставленные деньги в оборот и вернул их с процентами. Закопать, зарыть талант — оставить знания, способности, средства без развития и приумножения.

[^^^]

207

Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги.

[^^^]

208

Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами.

[^^^]

209

Голутвенные — здесь: в смысле «бедные», «обнищавшие».

[^^^]

210

Ушкуйники (от «ушкуй» — плоскодонная ладья с парусами и веслами) — дружины новгородцев в XI–XV вв., отправлявшиеся по речным и североморским путям с торговыми и военными целями. Ушкуйники принимали участие в освоении новых земель в северном поморье, Приуралье и Поволжье.

[^^^]

211

Дело о Солнышкине нами заимствовано у Есипова из его раскольничьих дел XVIII века.

[^^^]

212

Преображенский приказ — основанная Петром I канцелярия, в ведение которой вначале входило заведование регулярным войском и розыск по преступлениям против царской власти («Государево слово и дело»). Впоследствии приказу были поручены почти исключительно следствия по политическим делам. Приказ находился под управлением князя Федора Юрьевича Ромодановского (у Мамина-Сибиряка ошибочно — Ивана Федоровича).

[^^^]

213

Шугай — здесь: род кофты; обычно с ленточной оторочкой кругом.

[^^^]

214

Из сплавщиков на пристанях особенно ценятся меженные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом, — по межени, когда река стоит крайне мелко и нужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения.

[^^^]

215

Суводь — круговая струя над омутом, водоворот.

[^^^]

216

Огрудки — мели в середине реки, где сгружи-вается речной хрящ.

[^^^]

217

Таши — подводные камни.

[^^^]

218

Четь — четверть.

[^^^]

219

Глаголь — старинное название буквы «г».

[^^^]

220

Вачеги — рукавицы, подшитые кожей.

[^^^]

221

Пиканники — прозвище жителей Кунгура (города Пермской губернии).

[^^^]

222

Потеси — большие весла, служащие для управления барками.

[^^^]

223

Невьянские заводы — металлургические заводы на Урале, принадлежавшие заводчикам Демидовым.

[^^^]

224

Залобует — убьет.

[^^^]

225

Мурчисон Родерик Импий (1792–1871) — английский геолог, автор капитального труда по геологии России «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского». Эйхвальд Эдуард Иванович (1795–1876) — русский ученый-естествоиспытатель. Ему принадлежит капитальный труд «Палеонтология России».

[^^^]

226

Порубень — борт.

[^^^]

227

Названия вымерших пород моллюсков *(лат.)*.

[^^^]

228

На Урале раскольников иногда называют *двоеданами*. Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать. Раскольников также называют и кержаками, как выходцев с реки Керженца.

[^^^]

229

Раскольники называют картофель земляным горохом.

[^^^]

Лычага — веревка, свитая из лыка.

[^^^]

231

Оклематься — поправиться.

[^^^]

232

Пониток — здесь: верхняя одежда из полушерстяного домотканого сукна.

[^^^]

бойцового мяса...

[^^^]

234

Сирены — мифологические полуптицы-полуженщины. Своим волшебным пением они увлекали мореходов, которые становились добычей хищных сирен. Одиссей, герой поэмы Гомера «Одиссея», залепил своим спутникам уши воском, чтобы они не услышали пения сирен, а себя велел привязать к мачте и, хотя слышал пение сирен, остался жив.

[^^^]

235

Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена.

[^^^]

236

Стефан Великопермский (1340–1396) — проповедник христианского учения среди народов Севера.

[^^^]

237

Мастак — мастер.

[^^^]

238

Блазнило — мерещилось, казалось.

[^^^]

239

... — относящийся ко времени царствования (1801–1825) Александра I.

[^^^]

240

Акушерка *(фр.)*.

[^^^]

241

Вивисекция — операция на живом животном с целью изучения функций организма и причин различных заболеваний.

[^^^]

242

«Белая дама» — популярная опера французского композитора Буальдьё Франсуа Андриена (1775–1834).

[^^^]

243

Навязчивой идеи *(фр.).*

[^^^]

244

— Будем веселиться, пока мы молоды... *(лат.)*
— Старинная студенческая песня.

[^^^]

245

Приисковая бестия.

[^^^]

246

Мнимая *(лат.)*.

[^^^]

247

Бараба — Барабинская степь — низменность в южной части Западной Сибири.

[^^^]

248

«Приходишь» — в переносном смысле, по местному говору, значит «жалуешься».

[^^^]

249

Базлать (обл.) — кричать, горланить, реветь.

[^^^]

250

Цетерок — от сеттер, порода собак.

[^^^]

251

Братан — брат.

[^^^]

Утямились (обл.) — привязались, пристали.

[^^^]

253

Шевелиться — копаться, возиться; медлить с каким-либо делом.

[^^^]

254

Анисимовские издания — судебные уставы, кодексы законов и юридические справочники, изданные петербургским нотариусом А. Н. Анисимовым.

[^^^]

255

«Трекнулся» — по-заводски, отрекся.

[^^^]

256

Непременным условием *(лат.)*.

[^^^]

257

Тем самым *(лат.)*.

[^^^]

258

...приняли... в стяги — стали колотить дубинами; *стяг* — дубина, кол, толстая и длинная палка.

[^^^]

Клящий (сиб.) — сильный, большой.

[^^^]

260

Право первого захвата *(лат.)*.

[^^^]

261

Лядунка — сумка для патронов.

[^^^]

262

Бланка — небольшой луг, равнина, прогалина.

[^^^]

263

Запон (устар.) — здесь — передник, фартук.

[^^^]

264

Маханина — вареное лошадиное мясо.

[^^^]

265

Главная улика *(лат.).*

[^^^]

266

Чумбур — повод уздечки.

[^^^]

267

Вотчинник — коренной владелец земельных угодий; *припущенник* — переселенец из других мест.

[^^^]

268

По насердкам — по злобе, в сердцах.

[^^^]

269

Верея — столб, на который навешиваются створки ворот.

[^^^]

270

Бастрыг — палка, шест.

[^^^]

271

По библейскому сказанию, Иов был счастливым человеком: он был богат, почитаем, имел семь сыновей и трех дочерей, составлявших счастливое семейство. Иов вел жизнь праведника. Этому счастью позавидовал сатана и стал говорить богу, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого он потеряет свое добронравие и превратится в богохульника. Чтобы изобличить эту ложь, бог позволил сатане лишить невинного Иова всех благ: он обеднел, потерял детей и заболел проказой, но Иов все претерпел, не жаловался и не роптал. За это бог исцелил его и обогатил, у него снова родилось семь сыновей и три дочери, и он счастливо прожил до глубокой старости.

[^^^]

272

Канаус — шелковая ткань невысокого сорта.

[^^^]

273

Красный товар (устар.) — ткани.

[^^^]

274

Мужик *(фр.).*

[^^^]

Заводная лошадь (обл.) — запасная верховая лошадь.

[^^^]

276

Маргарита — героиня драмы «Фауст» Гёте (1749–1832).

[^^^]

277

Лестовка — кожаные четки у раскольников.

[^^^]

278

Краген — большой меховой воротник, который можно накинуть на голову.

[^^^]

279

Курпей — здесь — кисть на шапке.

[^^^]

280

Выжлятник — охотник, наблюдающий за гончими (от выжлец — кобель гончей породы).

[^^^]

Доезжачий — старший псарь, занимающийся обучением борзых собак и распоряжающийся ими на охоте.

[^^^]

282

На реке *Большой Иргиз* (приток Волги) был расположен один из центров старообрядчества; здесь беглые попы отказывались от господствующей церкви, т. е. «получали исправу».

[^^^]

283

Аматер (фр. amateur) — любитель.

[^^^]

284

Свиданиям наедине *(фр.)*.

[^^^]

285

Ночесь — ночью.

[^^^]

286

Название одного из горных чинов.

[^^^]

Лоцман.

[^^^]

288

Казенник — большой железный винт, который вставляется в заднюю часть ружейного ствола.

[^^^]

Зароблю — заработаю. Таков говор в Пермском крае.

[^^^]

Важеватый — внушительной, солидной внешности.

[^^^]

по евангельскому рассказу, нищий Лазарь лежал больной и голодный у ворот богача и рад был напитаться хотя бы крохами с его стола.

[^^^]

292

Заторный чан — в винокурении чаны с затором из тертого картофеля или растворенной в воде муки.

[^^^]

293

Имеется в виду увольнение за должностное преступление без права на пенсию и новое поступление на государственную службу.

[^^^]

294

Осман-паша — турецкий генерал и военный министр, известен по обороне города Плевны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

[^^^]

Майдан — здесь водоворот.

[^^^]

Поносным, или потесью, называется бревно с «пером» на одном конце, — оно на барке заменяет руль и весло; толстый конец поносного, у которого стоят бурлаки, заканчивается «губой». В подгубщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки.

[^^^]

Жило — селение.

[^^^]

298

Байга — скачки у башкир.

[^^^]

299

... — речь идет о бильярдной подставке.

[^^^]

300

Аман (фр. amant) — любовник.

[^^^]

301

Шильник — мошенник, плут.

[^^^]

302

Кивакта и Эншамо — названия двух речек в тайге.

[^^^]

303

Морок в диалектных говорах означает «шалун, баламут, повеса». Очерк рядом своих мотивов перекликается с другими произведениями Мамина-Сибиряка: «Озорник». «Сестры», «На шихане» и др.

[^^^]

304

Синельщик — красильщик.

[^^^]

305

Анна и Кайафа, по евангельскому сказанию, иудейские первосвященники, вершители суда, приговорившего Христа к распятию.

[^^^]

306

Судили «по-новому» — то есть согласно правилам судопроизводства, установленным судебной реформой 1864 года.

[^^^]

307

Шалыган — шалопай, бездельник.

[^^^]

308

Курень — здесь выжженное место в лесу.

[^^^]

309

Ордой заводские называют и Башкирию и казачьи земли Оренбургской губернии.

[^^^]

310

Келарня — кладовая для монастырских припасов.

[^^^]

311

Положил начал — прочитал молитву с поклонами согласно раскольническому обряду.

[^^^]

312

Волоковое оконце — задвижное окно.

[^^^]

313

Уговор на берегу — поговорка: «Уговорившись на берегу, плыви за реку!».

[^^^]

314

Лестовка — кожаные четки.

[^^^]

315

Шарник — рабочий по выемке земли на золотых приисках.

[^^^]

316

Крымза — хитрый, ловкий человек, пройдоха.

[^^^]

317

Стаи — конюшни, сараи.

[^^^]

318

Повалуши — общие спальни.

[^^^]

— речь идет о школах русского иконописания.

[^^^]

320

На Урале называют всякое селение «*жилом*»: «у нас в жиле...», «осередь самого жила...» и т. д.

[^^^]

321

«Отъинуд» — из другого места, от иной стороны.

[^^^]

322

После эмансипации — то есть после отмены крепостного права в 1861 году.

[^^^]

323

Натакались — попали, нашли.

[^^^]

324

Чтобы быть красивой — надо пострадать *(фр.).*

[^^^]

325

Берестяное обочье — полоска из березовой коры.

[^^^]

326

Казенные были — казенными здесь названы рабочие из государственных крестьян, приписанные к заводу.

[^^^]

327

Курья — заводь, речной залив.

[^^^]

Кортомить — арендовать.

[^^^]

329

«Течение земской давности» — имеется в виду закон, по которому после десяти лет владения имуществом право собственности на него не могло оспариваться.

[^^^]

330

Мурья — лачуга, конура, землянка.

[^^^]

331

Соймы — луга, снятые в аренду.

[^^^]

332

Лопать — одёжа.

[^^^]

333

Ерёхта — задира, придира.

[^^^]

334

В здоровом теле — здоровый дух *(лат.)*.

[^^^]

335

Выскочка *(фр.).*

[^^^]

336

Ни к селу, ни к городу *(фр.)*.

[^^^]

337

Жюдик Анна (1846–1911) — французская опереточная актриса; неоднократно выступала в Петербурге.

[^^^]

338

Местный колорит *(фр.).*

[^^^]

339

Казачий «бекет» — казачий пикет.

[^^^]

Авва (церковн.) — отец.

[^^^]

341

У зажиточных заводских обывателей в службах, под сараем, обыкновенно выделывается горенка на всякий случай, где проживает прислуга или кто-нибудь из дальней бедной родни; такие горенка называются подсарайными.

[^^^]

342

Кулигами на Урале называют огороженные пряслом — изгородью — покосы.

[^^^]

343

Цвета Bismark furioso — т. е. яркого, дикого оттенка (Бисмарка в молодости вследствие его необузданного характера называли «сумасшедшим Бисмарком»).

[^^^]

344

Руга — плата причту.

[^^^]

345

Не будем называть имена *(лат.)*.

[^^^]

346

Навязчивую идею *(фр.).*

[^^^]

347

Сухарина — засохшее на корню дерево.

[^^^]

348

Где мой отец? *(фр.).*

[^^^]

349

Выражение «*седьмая труба*» восходит к христианской легенде, согласно которой, после того как вострубит седьмой ангел, наступит «конец света». Сказания о «светопреставлении» были особенно широко распространены в старообрядческой среде.

[^^^]

350

Имолки — жмурки, от слова имать, то есть ловить.

[^^^]

Кацея (церк.) — кропильная чаша.

[^^^]

352

Раскольники признают только писаные образа, то есть краски на воску, на воде или яичном белке, а все остальные иконы, писанные масляными красками, называют «мазаными» и им не молятся.

[^^^]

353

Раскольничьи цветники — сборники духовных стихов и нравственных поучений.

[^^^]

354

Aep (лат). — воздух.

[^^^]

355

Блонды — шелковые кружева.

[^^^]

356

Иночество — черная монашеская шапочка.

[^^^]

357

Белая горячка *(лат.)*.

[^^^]

358

Куржак — иней, изморозь.

[^^^]

359

Шелковая «головка» — головная повязка, платок.

[^^^]

360

«Зеленая улица» — два ряда солдат с палками, между этими рядами проводили истязуемого.

[^^^]

361

Болк (болок) — верх крытой повозки.

[^^^]

362

Действие происходит в сороковых годах прошлого столетия.

[^^^]

363

Очестливее — вежливее, почтительней.

[^^^]

364

Коморник — ключник.

[^^^]

365

Стихира — церковное песнопение на библейские мотивы.

[^^^]

366

Блендочка — рудниковым фонарь.

[^^^]

367

Шары — глаза.

[^^^]

368

Кержаками на Урале, в заводах, называют старообрядцев, потому что большинство из них выходцы с р. Керженца.

[^^^]

369

Мочеганами на заводах называют пришлых жителей.

[^^^]

370

...числился единоверцем, но сильно «прикержачивал». — *Единоверцы* — старообрядцы, соединившиеся с православной церковью, но совершавшие богослужение по старопечатным церковным книгам и придерживавшиеся старинных религиозных обрядов. — *Прикержачивал* — склонялся к старообрядчеству.

[^^^]

371

Краган — накидной меховой воротник.

[^^^]

Мягки — пироги, калачи.

[^^^]

373

Блендой называется рудничная лампа, какую рабочие прикрепляют к поясу; стремянка — деревянная лестница, по которой спускаются в шахты.

[^^^]

374

«Посадить козла» на заводском жаргоне значит остудить доменную печь, когда в ней образуется застывшая масса из чугуна, шлаков и угля.

[^^^]

375

...чтобы не идти под красную шапку — то есть чтобы избавиться от военной службы.

[^^^]

Политехнической школе *(фр.)*.

[^^^]

377

Глазом у доменной печи называют отверстие для выпуска шлаков и чугуна.

[^^^]

378

На фабричном жаргоне *«галуха»* — умора.

[^^^]

379

Засыпки и подсыпки — рабочие, которые засыпают в печь уголь, руду и флюсы.

[^^^]

380

Жигалями в куренной работе называют рабочих, которые жгут дровяные кучи в уголь: работа очень трудная и еще больше ответственная.

[^^^]

Горной школе *(фр.)*.

[^^^]

382

На Урале сохранилось старинное слово «*жило*», которым обозначается всякое жилье и вообще селитьба.

[^^^]

383

Переменами называются покосы, обнесенные изгородями или «пряслами», по-уральски.

[^^^]

384

...приписанных к заводам людей — так называли крестьян, прикрепленных царским правительством к заводам и фабрикам во время крепостного права.

[^^^]

385

Кириллова книга — Кирилловой книгой назывался изданный в 1644 году в Москве сборник статей, направленных против католической церкви; назван по первой статье сборника, связанной с именем Кириллы Иерусалимского.

[^^^]

386

...с никонианином спуталась... — С именем московского патриарха Никона (1605–1681) связана реформа официальной церкви — исправление церковных книг по образцу греческих, изменение обрядов и т. д. Не признавшие этой реформы — раскольники — называли православных никонианами.

[^^^]

387

Вехоть — мочалка.

[^^^]

388

Косарь — большой тупой нож, которым колют лучину.

[^^^]

389

Ступни — башмаки.

[^^^]

390

Кювье Жорж (1769–1832) — выдающийся французский естествоиспытатель, известный своими трудами в области сравнительной анатомии.

[^^^]

391

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) — французский естествоиспытатель, выпустил при участии Л. Добантова многотомную «Естественную историю». — *Лаплас Пьер Симон* (1749–1827) — знаменитый французский математик, физик и астроном, автор «Аналитической теории вероятностей» (1812). — *Биша Мари Франсуа Ксавье* (1771–1802) — французский анатом, физиолог и врач.

[^^^]

392

Сказыться — сойти с ума.

[^^^]

393

Кацея — кадильница с деревянною ручкой.

[^^^]

Льстец — антихрист.

[^^^]

395

Сакма — след на траве.

[^^^]

Поляш — косач.

[^^^]

397

На свадьбе *светилицами* называли в Хохлацком конце девушек со стороны жениха; потылица — затылок.

[^^^]

398

Яга — шуба вверх мехом.

[^^^]

399

Шелепы — мешки с песком.

[^^^]

400

Четь — четверть.

[^^^]

401

Второй башкирский бунт — так называлось восстание башкир 1737–1739 гг. под руководством Бепени, Майдара, Тулькучуры (у Мамина-Сибиряка — Бепени, Майдары, Тулкучуры).

[^^^]

402

Кат — палач.

[^^^]

403

Не застуй — не заслоняй света.

[^^^]

404

В старину версты считались в тысячу сажен.

[^^^]

405

Волхит — волшебник.

[^^^]

406

Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью.

[^^^]

407

...ратманы да головы объявлены — выборные лица городского управления. Упразднены повсеместно в 1785 г.

[^^^]

408

Духовные штаты — Указом 1794 г. «О монастырских штатах» у монастырей были отобраны населенные крестьянами земли.

[^^^]

409

Апайка — жена.

[^^^]

410

Соборне — вместе, всем сбором.

[^^^]

411

Вершник — верховой.

[^^^]

412

Беломестный казак — так называли свободных людей из крестьян в XVIII в., которые несли гарнизонную службу на южной границе Урала. За это они получали во владение пахотную землю, сенокосные угодья и были освобождены от податей.

[^^^]

413

Рейтары — солдаты-кавалеристы.

[^^^]

414

Межевая Утка — река, приток р. Чусовой; свое название она получила оттого, что когда-то служила межой между владениями Строгановых и Демидовых.

[^^^]

415

Шитик — средней величины лодка, по образному народному выражению, «сшитая» из досок.

[^^^]

Корга — по-татарски ворона.

[^^^]

417

Ехать в «цело» — целиком, напрямик, без дороги.

[^^^]

418

Грядка в средней полосе России — подушка, нижняя передняя часть телеги.

[^^^]

419

Довольно, достаточно? *(лат.)*.

[^^^]

Эти строки были написаны до настоящего положения школьного дела, которое вернулось к хорошим традициям доброго старого времени.

[^^^]

421

Far niente — приятное ничегонеделание.

[^^^]

422

И книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

[^^^]

423

На Демидовских уральских заводах много хохлов, переведенных из Малороссии.

[^^^]

424

На Урале мережкой называют тройную сеть.

[^^^]

425

Кош — круглая киргизская палатка из войлока.

[^^^]

426

Баранчук — ребенок, дитя.

[^^^]

427

Салма — лапша из конины; *махал* — жареное из жеребенка.

[^^^]

428

Хаким — ученый, учитель.

[^^^]

429

Тайша — калмыцкий старшина

[^^^]

430

Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.

[^^^]

Бий — богач, господин.

[^^^]

432

«Бедность — моя гордость».

[^^^]

433

Ак-Бозат — звезда.

[^^^]

434

Калым — выкуп.

[^^^]

Байгуш — бедняк, нищий.

[^^^]

436

Байга — скачки.

[^^^]

437

На Урале вместо «бабушка» говорят «*баушка*», вместо «девушка» — «*деушка*».

[^^^]

438

Курень — место выжига угля в лесу.

[^^^]

439

Блазнит — кажется (местное уральское слово).

[^^^]

440

Яга — шуба шерстью наружу.

[^^^]

Шубенки — рукавицы.

[^^^]

442

Балаган — широкая низкая изба, вросшая в землю, крытая дерном, без окон, с очагом из камней вместо печи, с земляным полом.

[^^^]

443

Залобовать — убить.

[^^^]

444

Охулки на руку — то есть обсчитал.

[^^^]